This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Сочиненія
РѢШЕТНИКОВА

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

1578

77-5/12
14.—

СОЧИНЕНІЯ

Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА.

дозв. ценз. спб., 5 іюня 1903 г.

тип. тов. „общ. польза", б. подъяч., 39.

В. Ромезников.

Reshetnikov, F. M.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНІЕ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
А. М. СКАБИЧЕВСКАГО.

Съ портретомъ автора, вступительной статьей **А. М. Скабичевскаго** и съ библіографіей сочиненій Ѳ. М. Рѣшетникова, составленной **П. В. Быковымъ**.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Цѣна за два тома—3 руб. 50 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ 4 руб. 50 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.
Лештуковъ переулокъ, домъ № 2.
1904.

PG 3360
K4
1904

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Б. Подъяческая, соб. д. № 39.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ
О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ
Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА.

I.

Въ теченіе 60-хъ годовъ появился въ нашей литературѣ рядъ писателей, родственныхъ и по происхожденію изъ однихъ и тѣхъ же общественныхъ слоевъ, и по характеру жизни, и по содержанію своихъ произведеній. Таковы — Н. Помяловскій, А. Левитовъ, Н. и Гл. Успенскіе, Н. Златовратскій и пр. Кромѣ одного Помяловскаго, родившагося въ Петербургѣ, всѣ они являются выходцами изъ провинціальной глуши; всѣ они родились въ семьяхъ, принадлежавшихъ къ низшему сельскому духовенству или мелкому чиновничеству; всѣ провели очень печальное дѣтство среди нищеты, терпя всякаго рода лишенія, униженія, истязанія, а въ юности—вынося тяжкую борьбу за существованіе; въ произведеніяхъ всѣхъ ихъ замѣчается полное отсутствіе художественной отдѣлки, зато обстоятельное и глубокое знаніе жизни крестьянъ и мѣщанъ.

Одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой школѣ принадлежитъ безспорно Ѳ. М. Рѣшетникову, и не столько по степени талантливости (въ этомъ отношеніи мы, конечно, должны отдать пальму первенства Помяловскому и Гл. Успенскому), сколько по той яркой типичности, какую представляетъ собою Рѣшетниковъ среди своихъ сотоварищей, и какъ человѣкъ, и какъ писатель.

Ѳ. М. Рѣшетниковъ родился въ Екатеринбургѣ, 5 сентября 1841 года. Отецъ его былъ дьячокъ, и предавался горькому пьянству. Думая остепенить его, родной братъ, служившій въ Екатеринбургской почтовой конторѣ, женилъ его на дочери дьякона, тихой и кроткой дѣвушкѣ. Выйдя изъ дьячковъ, отецъ Рѣшетникова поступилъ въ почтальоны; но пить не пересталъ и жилъ съ женою такъ плохо, что, когда братъ его съ женой переѣхалъ въ Пермь, она съ девятимѣсячнымъ ребенкомъ на рукахъ ушла вслѣдъ за ними. Въ Пермь она пришла во время сильнаго пожара и такъ была напугана, что заболѣла и умерла въ больницѣ. Мальчикъ остался такимъ образомъ на рукахъ дяди и тетки, которые его и воспитали.

Это были люди честные, добрые, но притиснутые нуждою, съ трудомъ перебивавшіеся на тѣ скудные гроши, которые получалъ дядя на службѣ, и жившіе подъ непрестаннымъ страхомъ прогнѣвить начальство и потерять послѣдній кусокъ хлѣба. Они полюбили племянника, старались пригрѣть несчастнаго сироту, заботились о томъ, чтобы сдѣлать изъ него человѣка. Къ сожалѣнію, едва грамотные, они, подобно всѣмъ захолустнымъ мѣщанамъ и мелкимъ чиновникамъ, находились на самой низкой степени культуры, нравы ихъ были грубы, понятія—исполнены первобытной патріархальности. Воспитывать, по ихъ мнѣнію, значило держать ребенка въ ежевыхъ рукавицахъ и сѣчь розгами или бить по чему попало безъ разбору за всякую малость.

На бѣду Рѣшетниковъ оказался мальчикомъ бойкимъ, веселымъ, рѣзвымъ, и обнаруживалъ большую впечатлительность. И вотъ, какъ только началъ онъ подростать, воспитатели не замедлили начать употреблять всѣ средства, чтобы выбить изъ него врожденную рѣзвость и сдѣлать тише воды, ниже травы. Ребенокъ вездѣ лѣзъ, и его колотили тоже вездѣ. Дядя принесъ лубочную картинку и сталъ разсматривать,—воспитанника разобрало любопытство, онъ потянулъ картинку къ себѣ и разорвалъ пополамъ. «За это дядя меня такъ ударилъ,—говоритъ онъ въ своей автобіографической повѣсти «Между людьми»,—что я ударился головою объ полъ, изъ рта пошла кровь». Въ домѣ была одна единственная книга—«Священная исторія ветхаго и новаго завѣта» съ картинками. Картинки привлекали мальчика, но онъ не ограничился разсматриваньемъ ихъ, а прокалывалъ иглою глаза у изображенныхъ лицъ, или буквы въ текстѣ, а однажды, въ отсут-

ствіе воспитателей, завладѣвъ книгою, онъ началъ выдирать изъ нея картинки совсѣмъ, а затѣмъ, испугавшись послѣдствій, засунулъ книгу въ печку. Книгу вытащили, но «за это,—говоритъ Рѣшетниковъ,—дядя долго дралъ меня ремнемъ». Били его и за то, что плохо молится по утрамъ, и за то, что слишкомъ усердно чиститъ сапоги дядѣ; били и чужіе люди на почтовомъ дворѣ, потому что онъ всюду лѣзъ, чтобы посмотрѣть, нѣтъ ли гдѣ «хорошихъ картинокъ, хорошихъ книгъ съ картинками»... «Мнѣ нравилось,—говоритъ онъ,—все, что я видѣлъ въ первый разъ—мебель, платье, и вещь, особенно понравившуюся норовилъ припрятать». Недовольные имъ, проучивъ его у себя, шли кромѣ того жаловаться на него къ его воспитателямъ, которые въ свою очередь не давали ему спуску. Ото всѣхъ кругомъ такъ и сыпались на него клички: «песъ», «ножовое вострее», «балбесъ», «безрогая скотина».

Всѣ эти произвища и истязанія озлили мальчика, и кончилось дѣло тѣмъ, что онъ объявилъ войну всѣмъ окружающихъ. Ему ничего не стоило засунуть въ квашню или кадку съ водой дохлую кошку, измазать въ грязи чистое бѣлье, развѣшенное на дворѣ для просушки, вытащить изъ самовара кранъ, забросить его за заборъ, и самоваръ распаять и т. п. Онъ сдѣлался истиннымъ божескимъ наказаніемъ цѣлому двору. Били и ругали его всѣ, и онъ ругалъ всѣхъ, запускалъ въ своихъ враговъ камнями, билъ ихъ по лицу, кусался, и въ то же время изобрѣталъ новыя и новыя пакости врагамъ своимъ. «Меня отдерутъ,—говоритъ Рѣшетниковъ,—я сяду куда-нибудь въ уголъ и думаю, что бы мнѣ еще такое сдѣлать, да такъ, чтобы никто не узналъ».

Грамотѣ учить мальчика началъ дядя, и, конечно, безъ битья ученье не обошлось. «Знаю,—говоритъ Рѣшетниковъ,—что много терпѣнія затратилъ дядя на мое ученье. Подзоветъ онъ меня къ столу, заставляетъ читать и такъ строго заставляетъ, что я боюсь его и молчу. Онъ крикнетъ на меня: ну! Я задрожу. Онъ ударитъ меня, я въ слезы; онъ хуже: привяжетъ меня къ столу и уйдетъ. Какъ только онъ уйдетъ, я начинаю ковырять указкой буквы, вырываю листки изъ азбуки. Дядя выспится, придетъ ко мнѣ.—«Выучилъ?»—Я молчу.—«Что-же ты?»—Я смотрю на него, надуваю губы и со злостью смотрю въ уголъ.—«Такъ-то ты?!»—Онъ схватитъ ремень и начнетъ меня драть. Я возьму, да и укушу ему руку»...

Затѣмъ отдали его въ ученье старому отставному чиновнику съ платою по четыре рубля въ мѣсяцъ. Чиновникъ былъ страстный охотникъ до птицъ: вся комната его была заставлена садками. Сверхъ того любилъ онъ дѣтей, и у него было нѣчто въ родѣ маленькой школки: постоянно училось мальчугановъ до восьми. Училъ онъ плохо; только и дѣлалъ, что задавалъ по книжкѣ на домъ уроки взубряжку, да кое-что разсказывалъ изъ священной и всеобщей исторіи. Впрочемъ, Рѣшетниковъ учился у него недолго. Оставшись какъ-то въ классѣ одинъ, онъ выпустилъ изъ клѣтокъ всѣхъ птицъ, чтобы полюбоваться, какъ онѣ будутъ летать; птицы вылетѣли на улицу и разлетѣлись. Учитель, воротясь домой и придя, конечно, въ ужасъ, вытолкалъ ученика въ шею, и съ тѣхъ поръ Рѣшетниковъ не видалъ его больше.

Когда мальчику минуло десять лѣтъ, его отдали въ бурсу на томъ основаніи, что хотя отецъ его и былъ почтальономъ, когда онъ родился, но все-таки принадлежалъ къ духовному званію, у дяди же было много знакомыхъ изъ консисторскихъ. Къ домашнему дранью присоединилось теперь новое, бурсацкое. «Мнѣ показалось, — говоритъ онъ, — что у дяди вольнѣе жить и лучше. Дядя и тетка наказывали за дѣло, а здѣсь, за какіе-то уроки, которые я не считалъ нужнымъ учить, меня два раза выстегали до обѣда, да разъ послѣ обѣда... Цѣлыя двѣ недѣли меня никуда не выпускали изъ заведенія и почти каждый день драли, какъ лошадь, если не разъ, то по два раза; товарищи били меня за то, что я воровалъ у нихъ булки, сушеныя лепешки, привезенныя имъ родственниками. Я ни съ кѣмъ не жилъ въ ладу, хвастаясь дядей, и никто не любилъ меня; всѣ стали жаловаться, что я краду булки; да если я и былъ правъ, такъ находились товарищи, которые сами воровали и сваливали всю вину на меня. Такъ прожилъ я мѣсяцъ и въ это время ужасно перемѣнился—похудѣлъ и схватилъ золотуху. Мнѣ невтерпежъ стало житье въ заведеніи и я задумалъ бѣжать»...

«Рано утромъ,—разсказываетъ онъ далѣе,—я ушелъ на колокольню, думая, что тамъ никто меня не найдетъ. Съ замираніемъ сердца я просидѣлъ на вышкѣ подъ колоколами то время, какъ звонили къ заутрени».

Просидѣвши затѣмъ подъ колоколами весь день въ тоскѣ, страхѣ и борьбѣ съ голодомъ, къ ночи онъ не могъ осилить страха, убѣжалъ съ колокольни на рѣку и здѣсь ночевалъ у лодки. Поутру онъ ходилъ, какъ помѣшанный, отъ голода. Въ рыбачьемъ шалашѣ нашелъ онъ полъ-ковриги хлѣба, взялъ его себѣ, и тутъ же, не зная зачѣмъ, провертѣлъ въ лодкѣ дыру, распласталъ неводъ, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ.

Этотъ день, по его словамъ, онъ провелъ хорошо, прогуливаясь по травѣ и по лѣсу и напѣвая пѣсни... Онъ радовался, что на свободѣ, что никто его не стѣсняетъ и онъ можетъ дѣлать все, что хочетъ, торжествовалъ надъ тѣмъ, что онъ одинъ изъ всѣхъ бурсаковъ убѣжалъ далеко, а ихъ дерутъ. «Пусть васъ дерутъ»,—говорилъ онъ громко и хохоталъ. Онъ былъ счастливъ и счастливѣе себя не находилъ человѣка; онъ думалъ: «а какъ хорошо! Ни за что не пойду отсюда, ни за что не пойду, и къ дядѣ не пойду»... «Мнѣ ничего не нужно было,—говоритъ онъ далѣе,—хотя и казалось мнѣ, что въ каждомъ кусту кто-то сторожитъ меня, а на иные кусты я и смотрѣть-то боялся; когда проходилъ мой страхъ, я думалъ: а хорошо бы здѣсь построить домъ; я бы тогда взялъ съ собою дядю и тетку, и они не стали бы меня тогда бить». Далѣе онъ сѣлъ въ чью-то лодку и сталъ грести вверхъ, но силы были слабы, лодку несло внизъ и прибило къ берегу. Здѣсь, сидя въ лодкѣ и доѣдая остатокъ хлѣба, бѣглецъ мечталъ и поглядывалъ на городъ,

какъ вдругъ на него налетѣлъ съ ругательствами и проклятіями какой-то мѣщанинъ и принялся тузить не на милость, а на смерть. На лицѣ была кровь, голова страшно болѣла, волоса лѣзли. Скоро вслѣдъ за мѣщаниномъ явилась цѣлая флотилія бурсаковъ, разыскивавшихъ бѣглеца, и когда послѣдній бросился бѣжать отъ нихъ, они настигли его, связали и безжалостно поволокли по кочкамъ въ бурсу, награждая палочными ударами. Въ заключеніе ему была задана такая «баня», послѣ которой Рѣшетниковъ пролежалъ въ лазаретѣ два мѣсяца.

Но стремленіе бѣжать отъ такой каторги не оставило Рѣшетникова и послѣ всѣхъ этихъ ужасовъ. Уже лежа въ лазаретѣ, обдумывалъ онъ планъ бѣгства, и какъ только выздоровѣлъ, бѣжалъ снова. Прежде всего отправился онъ на такъ-называемую «Мотовилиху», — заводъ въ трехъ верстахъ отъ Перми. Бурсацкій сюртукъ онъ бросилъ въ воду, чтобы не узнали, вымазалъ грязью лицо, рубашку, панталоны и пошелъ по заводскимъ домамъ и кабакамъ просить «Христа ради». — «Чей ты, парнюга»? — спрашивали его.—«Материнъ»,—отвѣчалъ онъ уклончиво.

Долго шатался онъ здѣсь между рабочими и мастеровыми, которые давали ему кровъ и питали его. «Много,—говоритъ онъ, — увидѣлъ я здѣсь хорошаго. Мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ». Но такое впечатлѣніе производили на него лишь трудящіеся люди; что же касается нищихъ, съ которыми онъ безпрестанно сталкивался, то, напротивъ того, впечатлѣнія, вынесенныя изъ ихъ среды, носили совсѣмъ иной характеръ. «Такъ мнѣ, — говоритъ онъ,—показались гадки всѣ нищіе, что я всячески старался избѣгать ихъ; но они все-таки находили меня и тащили съ собою. Я кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы меня спасли отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. Искалъ я въ заводѣ и такого человѣка, который заставилъ бы меня работать, но меня не хотѣли брать безъ имени, а своего имени я не хотѣлъ сказывать... И Богъ знаетъ, что было бы со мною дальше, если бы не спасла меня одна женщина»... Это была крестьянка, носившая воспитателямъ Рѣшетникова молоко. Она случайно встрѣтила мальчика, узнала его и отвела къ роднымъ. «Дѣло извѣстное,—заканчиваетъ Рѣшетниковъ свой разсказъ о бѣгствѣ,—что было послѣ этого»... Изъ бурсы его, конечно, исключили, и онъ снова очутился не при чемъ, на рукахъ у своихъ родственниковъ.

II.

Всѣ эти испытанія произвели сильный кризисъ въ душѣ ребенка. Онъ затаился въ себя, присмирѣлъ и словно какъ бы замеръ; пересталъ возмущаться, протестовать, дѣлать пакости окружающимъ людямъ, покушаться на побѣги и пр. Терпѣливо выносилъ онъ всѣ истязанія и по цѣлымъ часамъ сидѣлъ въ углу за дверью въ полной апатіи. Въ то же время въ немъ начался процессъ глубокаго анализа окружающихъ его людей, и съ каждымъ днемъ принималъ все болѣе и болѣе примирительный характеръ. «Я,—говоритъ онъ,—нисколько не винилъ воспитателей въ томъ, что они строги; я даже благодарилъ ихъ, что они содержатъ меня, и мнѣ досадно было только на то, что они сердятся на меня во всѣхъ своихъ неудачахъ, какъ будто въ ихъ неудачахъ я одинъ виноватъ». Ахъ, какъ нуждался въ это время несчастный ребенокъ въ малѣйшей ласкѣ, которая согрѣла бы его одинокую, загнанную душу, но ничего не находилъ онъ вокругъ себя, кромѣ однихъ лишь брани и попрековъ. «Я много,—говоритъ онъ,—думалъ о своемъ положеніи и ничего не видѣлъ хорошаго въ настоящемъ, и не ждалъ ничего утѣшительнаго въ будущемъ. Когда мнѣ становилось очень тяжело, я плакалъ,—да и было отъ чего: меня укоряли отцомъ, моими поступками, и съ утра до вечера никуда не выпускали, да и я самъ никуда не шелъ: мнѣ почему-то стыдно было людей»...

И вотъ однажды вечеромъ, когда мальчикъ уже легъ спать, дядя привелъ съ собой какого-то человѣка въ почтальонской одеждѣ, обрюзглаго, съ отекшимъ лицомъ. Человѣкъ этотъ болѣзненно кашлялъ и разсказывалъ о томъ, какъ онъ несчастливъ, какъ къ нему несправедливы, какъ его бьютъ. «Ты не повѣришь, — говорилъ онъ дядѣ, — какъ этотъ смотритель каждый день билъ меня въ грудь, топталъ ногами».

Оказалось, что это былъ отецъ Рѣшетникова. Страхъ и радость охватили мальчика при видѣ его, но когда сынъ подошелъ къ отцу, бѣдный отецъ не зналъ, что сказать...«Большой выросъ»—произнесъ онъ. «Что ты не цѣлуешь отца?»—спросилъ дядя.—«Да что мнѣ его цѣловать-то?..» И больше ничего.

На другой день, разговорившись съ теткой о сынѣ, отецъ упрашивалъ ее:—«Дери ты его... что есть мочи дери». — Когда ему предложили взять сына съ собой, онъ отвѣчалъ: — Куда мнѣ съ нимъ?. не надо... мнѣ и одному горько жить».—Уѣзжая совсѣмъ, онъ могъ сказать сыну только:—«Ну, прощай! слушайся»... — и пошелъ прочь.—«Мнѣ тяжело было,—говоритъ Рѣшетниковъ,—что отецъ уѣхалъ, а я не высказалъ ему своего горя»... Такимъ образомъ, встрѣча съ отцомъ не только не облегчила души мальчика, напротивъ того сдѣлала его еще несчастнѣе, заставивъ въ большей степени почувствовать свое полное сиротство и одиночество.

На двѣнадцатомъ году отдали Рѣшетникова въ уѣздное училище. «Но я,—говоритъ онъ,—три года промучился въ первомъ классѣ и ничего не понялъ. Объ умственномъ развитіи учителя не заботились, а учили насъ взубряжку и ничего не показывали. Учителя считали за наслажденіе драть насъ». Онъ теперь уже не думалъ бѣжать, а когда производилась общая порка въ концѣ мѣсяца, старался только встать въ концѣ шеренги, предназначенной къ сѣченью, потому что къ концу ея сторожъ уставалъ. Иногда онъ отдѣлывался гривенникомъ, который зарабатывалъ, занимаясь въ почтовой конто-

рѣ составленіемъ крестьянскихъ писемъ. Отъ учителей онъ отдѣлывался тоже своего рода взятками: отправлялъ имъ, благодаря дядѣ письма даромъ, доставлялъ имъ въ руки полученныя на ихъ имя письма, тайкомъ таскалъ съ почты газеты для прочтенія ими, и они оставляли его за это въ покоѣ.

Но это тасканье газетъ не обошлось даромъ мальчику и привело его къ новой катастрофѣ. Дѣло въ томъ, что, похищая въ конторѣ газеты, Рѣшетниковъ, по прочтеніи ихъ учителями, забрасывалъ ихъ въ сосѣдній огородъ черезъ заборъ; бывали случаи, что онъ, со страху, выбрасывалъ туда пакеты, не разсматривая и не читая ихъ, и въ числѣ такихъ нечитанныхъ пакетовъ забросилъ одинъ весьма важный манифестъ (1855 г.). Дѣло было не шуточное; виновника разыскали и предали формальному суду, хотя преступнику было не болѣе четырнадцати лѣтъ.

Дѣло тянулось два года. Изъ училища, конечно, онъ тотчасъ же былъ исключенъ. Трудно представить себѣ, что въ это время перечувствовалъ несчастный мальчикъ... На ругательства воспитателей онъ отвѣчалъ рыданіемъ и, Богъ знаетъ, какъ былъ готовъ благодарить ихъ; онъ удивлялся, какъ они не боятся держать его у себя; старался, чѣмъ только могъ, услужить имъ, носилъ дрова, воду, исполнялъ все, что ни прикажутъ. Наконецъ вышло опредѣленіе суда—отсылка виновника въ Соликамскій монастырь на эпитемію, на три мѣсяца.

Трехмѣсячное пребываніе Рѣшетникова въ Соликамскѣ имѣло весьма вредное вліяніе на его умственное развитіе, отразившееся пагубными послѣдствіями на всю его жизнь. Поселился онъ, по пріѣздѣ туда, у какихъ-то дальнихъ родственниковъ, которые не замедлили осыпать его градомъ всякаго рода упрековъ. Воспитатели въ свою очередь донимали его въ своихъ письмахъ. И вотъ онъ начинаетъ отводить душу въ обществѣ людей весьма сомнительнаго поведенія: начинаетъ якшаться съ почтальонами, играть съ ними въ карты, участвовать въ ихъ попойкахъ, ходить съ ними въ почтальонской формѣ для выпрашиванія новогоднихъ. Монахи Соликамскаго монастыря въ первое время производили на него такое скверное впечатлѣніе, что у него пропало желаніе остаться въ монастырѣ, о чемъ онъ мечталъ, отправляясь въ Соликамскъ. «Я ходилъ каждый день въ монастырь,—писалъ онъ въ своемъ дневникѣ,— и смотрѣлъ на ихъ образъ жизни и всѣ они не похожи на монаховъ... и дѣлаютъ разныя непристойности ». Но мало-по-малу онъ втянулся и въ общество монаховъ, и сдружился съ ними. «И такъ я чудно,—пишетъ онъ въ дневникѣ,—и весело проводилъ время съ монахами; они меня поили пивомъ, и я часто приходилъ домой пьянымъ. Да и всѣ меня любили сердечно и я тоже питалъ свою любовь къ нимъ. Иногда обѣдалъ и спалъ въ кельяхъ... Словомъ, очень весело я провелъ время съ доброю братіею и въ особенности тогда, когда пили пиво».

Пиво это, по позднѣйшимъ разсказамъ Рѣшетникова, обыкновенно настаивалось на листовомъ табакѣ. Самъ Рѣшетниковъ приписывалъ именно этому адскому напитку начало той болѣзни, которая уложила его въ преждевременную могилу.

«Мрачно и печально, пишетъ онъ передъ истеченіемъ срока своей ссылки, что я разлучаюсь съ моими друзьями, *истинными христіанами*. Но что же дѣлать, дядя мой единокровный хочетъ этого. Но я еще когда-нибудь могу поступить въ монастырь и мнѣ хочется кончить жизнь тамъ, гдѣ живутъ только мирно».

Рѣшетниковъ возвратился въ Пермь въ 1857 году, 16-ти лѣтъ отъ роду. Замѣчательно, что сверхъ пристрастія къ спиртнымъ напиткамъ онъ вынесъ изъ монастыря нѣчто совершенно противоположное этому пороку: именно сильную наклонность къ мистицизму и аскетизму. Онъ только и мечталъ въ то время, что о постриженіи въ монахи, клалъ земные поклоны и сочинялъ даже свои собственныя молитвы. Въ домѣ дяди жила бѣдная вдова съ дочкой. Съ послѣдней Рѣшетниковъ былъ знакомъ съ дѣтства, и она ему нравилась. Но когда дядя сказалъ ему однажды въ шутку, что онъ отдастъ ее за него замужъ, Рѣшетниковъ въ экстазѣ своего аскетическаго настроенія пишетъ: «Я не могу взять за примѣръ женщинъ и не могу соблазняться примѣромъ ихъ. Богъ знаетъ, что я имѣю усердіе къ его великой церкви и ввѣкъ буду стремиться къ его церкви и будетъ время, когда я уйду въ монастырь въ уединеніе и тамъ буду молиться Небесной невѣстѣ, Пресвятой Богородицѣ и приснодѣвѣ Маріи...»

Жизнь его въ домѣ воспитателей по возвращеніи его изъ монастыря по-прежнему была полна попрековъ, выговоровъ и всяческихъ гоненій и поношеній, но въ своемъ религіозномъ настроеніи онъ терпѣливо переносилъ всѣ нападки и лишь вопіялъ:

«Богъ съ ними, а пока есть у меня силы и возможность, буду терпѣть и въ молчаніи призывать моего Господа и просить его милости, ибо къ кому намъ грѣшнымъ прибѣгать, какъ не къ Нему. Боже, спаси меня нынѣ и даждь терпѣніе мнѣ во дни скорби моей, да не погибнетъ душа моя до конца; спаси мя и тетку, и обидящихъ мя спаси и помилуй, и вѣчной ихъ обители сотвори, помилуй по милости твоея, якоже помиловалъ праотецъ нашихъ. Адама и Еву, да и къ тебѣ всегда вопіемъ: помилуй насъ Господи, владыко нашъ и благодѣтелю, и тебѣ славу возсылаемъ во вѣки. Аминь».

Семейныя дрязги ввидѣ ссоръ его родныхъ между собою изъ-пустяковъ въ свою очередь наводятъ его на слѣдующаго рода религіозныя размышленія: «Я, взирая на жизнь ихъ, жалѣлъ ихъ обоихъ и укрѣплялся на молитвы, которыя, можетъ быть, помогутъ мнѣ и ихнему прощенію во грѣхахъ».

Принятый вновь въ уѣздное училище, онъ и на товарищей смотритъ съ той же религіозной точки зрѣнія: «Печально, пишетъ онъ, мнѣ смотрѣть на братію мою, учащуюся со мной: всѣ наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно въ нашихъ лѣтахъ... Но Богъ милостивъ еще къ намъ. Даже К. (ученикъ) уже прилѣпился въ сѣтяхъ дьявола. О! сколь нынѣ свѣтъ

развратился! Даже младенцы, недавно выступившіе на свѣтъ Божій, и тѣ хулятъ имя Господне и не страшатся суда Всевышняго».

Въ подобномъ религіозномъ настроеніи прошли два года—1857-ой и 1858-й. Въ продолженіе этихъ двухъ лѣтъ любимыми занятіями Рѣшетникова было читать книги духовнаго содержанія, ходить по церквамъ, пѣть на клиросѣ, слушать проповѣди и сочинять подобныя и самому. Впрочемъ, и въ это время религіозное настроеніе не всецѣло поглощало Рѣшетникова: иногда онъ любилъ отправиться порыбачить за Каму, гдѣ сходился съ народомъ и узнавалъ жизнь и нравы крестьянъ, бурлаковъ.

Въ 1859 году воспитатели его переѣхали въ Екатеринбургъ, гдѣ дядя получилъ мѣсто помощника почтмейстера. Рѣшетниковъ помѣстился на частной квартирѣ. Оставшись на свободѣ, онъ ожилъ: въ дневникѣ его вмѣсто религіозныхъ размышленій идутъ теперь очерки лицъ, съ которыми ему теперь пришлось жить одному. Онъ дѣлается простымъ лѣтописцемъ окружающей его жизни, описываетъ городскія происшествія, пожары. Во время бывшихъ въ Перми въ 1859 году пожаровъ онъ нанимался по ночамъ караулить дома обывателей, за что получалъ 20 копѣекъ — «потому что, писалъ онъ, у меня не было денегъ». Отъ этой работы онъ «нажилъ» 1 р. 20 к. Въ свободные дни онъ ѣздилъ рыбачить на Каму, гдѣ съ простымъ народомъ проводилъ цѣлыя ночи.

Эти немногіе мѣсяцы 1859 года (съ февраля по іюнь) были весьма благотворны для Рѣшетникова какъ въ смыслѣ накопленія въ его памяти тѣхъ фактовъ и чертъ народнаго быта, которые впослѣдствіи послужили матеріаломъ для его литературныхъ работъ, такъ и поворота мысли его изъ области затхлаго мистицизма на свѣтскую и реальную почву, пробужденія въ немъ чисто-умственныхъ интересовъ, жажды развитія и знаній.

«Часто въ это время, говоритъ онъ, случалось, что я, сидя въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь вдаль; глаза останавливались, въ головѣ чувствовалась тяжесть, и вертѣлись слова: какъ же это? отчего это? И въ отвѣтъ ни одного слова. Очнешься и плюнешь въ воду. Начнешь удить и думаешь: ахъ, если бы я былъ богатъ, я бы накупилъ книгъ много, много... Я бы все выучилъ»...

25 іюня онъ кончилъ курсъ уѣзднаго училища и «получилъ аттестатъ съ отличными, хорошими, и изъ ариѳметики и геометріи достаточными успѣхами», послѣ чего ему пришлось снова вернуться къ родственникамъ, жившимъ въ Екатеринбургѣ. Этимъ и закончились учебные годы Рѣшетникова. Уѣзднымъ училищемъ завершилось все его школьное образованіе.

III.

По пріѣздѣ въ Екатеринбургъ, онъ подалъ прошеніе объ опредѣленіи его въ уѣздный судъ (29 іюля 1859 года) и сталъ заниматься въ судѣ съ жалованьемъ по 3 рубля въ мѣсяцъ, которые цѣликомъ отдавалъ воспитателямъ.

Замѣчательно, что, подобно тому, какъ въ монастырь онъ пришелъ съ идеальными представленіями о монастырской жизни, и дѣйствительность сразу разочаровала его въ этихъ представленіяхъ, тоже повторилось и теперь: онъ «гордился тѣмъ, что служитъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣшаются дѣла о людяхъ» и воображалъ со своей стороны приносить имъ пользу. Но ему пришлось горько разочароваться и прійти въ крайнее негодованіе при видѣ всей той канцелярской грязи, въ которую онъ окунулся при первомъ же своемъ появленіи въ судъ. Поголовное взяточничество, плутни, интриги, взаимное подкапыванье другъ подъ друга, низкопоклонство передъ начальствомъ и надменная грубость съ подчиненными, при полномъ отсутствіи пониманія обязанностей,—все это ошеломило юношу, и онъ началъ разражаться въ своемъ дневникѣ жалобами на своихъ товарищей и характеристиками ихъ весьма для нихъ нелестными. Вся же та польза людямъ, о которой онъ мечталъ, свелась къ механической работѣ переписыванья бумагъ.

Недовольный такимъ образомъ канцелярскими нравами и порядками и всею процедурою службы, томясь въ то же время тоскою одиночества въ домѣ дяди, гдѣ ему былъ отведенъ уголъ на полатяхъ, Рѣшетниковъ началъ находить единственное утѣшеніе въ бесѣдахъ съ музами, и результатомъ этихъ бесѣдъ была поэма въ стихахъ, написанная имъ въ 1860 году, подъ заглавіемъ «Приговоръ». Чтобы судить о томъ, какъ въ то время былъ далекъ еще Рѣшетниковъ отъ «Подлиповцевъ», достаточно привести содержаніе поэмы этой, написанной крайне неудобочитаемыми стихами.

Въ уѣздномъ городѣ живетъ судья. Въ домѣ кромѣ него находятся еще два лица: воспитанница и дворникъ. Всѣ они мрачны, скучны, угрюмы, а судья и дворникъ носятъ сверхъ того какую-то тайну въ душѣ. Судья—отчаянный взяточникъ, но вовсе не это обстоятельство терзаетъ его совѣсть и составляетъ причину его мрачности; у него на душѣ лежитъ тяжкій грѣхъ. Дѣло въ томъ, что воспитанница, живущая у него и не знающая, кто ея отецъ, есть не воспитанница, а родная его дочь, прижитая имъ съ замужней женщиной, которая уже умерла. Этотъ грѣхъ мучаетъ судью со дня рожденія дочери. Дворникъ же потому мраченъ, и «вздрагиваетъ, оставшись одинъ», что онъ помогалъ судьѣ беременную женщину (мать воспитанницы) спровадить вмѣсто богомолья въ деревню, гдѣ она и родила. Грѣхи эти не остаются, конечно, безъ возмездія. Пріѣзжаетъ ревизоръ, и въ тотъ самый день, когда онъ обличаетъ запутавшагося во взяткахъ судью, сгораетъ его домъ, подожженный дворникомъ. Мучимый совѣстью дворникъ рѣшился сжечь мѣсто, гдѣ было столько обмановъ и потомъ самъ удавился въ лѣсу. Судью разбиваетъ параличъ и его отвозятъ въ больницу. Воспитанница выходитъ замужъ за штатнаго смотрителя, котораго она давно любила, и переводитъ судью къ себѣ; послѣдній, умирая, разсказываетъ ей, что она его дочь,—и рѣчь его постоянно прерывается появленіемъ бѣсовъ съ вилами, крючками и т. п. За минуту до смерти

является частный приставъ, тащитъ судью въ острогъ, но судья умираетъ. Во время похоронъ его поднимается страшная буря, гробъ срываетъ съ катафалки, судья вываливается... Но и этого оказывается автору мало для покаранія грѣшника: на могилѣ его постоянно потомъ видны двѣ черныя кошки...

За поэмою послѣдовала въ томъ же году драма въ шести дѣйствіяхъ, написанная тоже стихами подъ заглавіемъ «Паничъ». Герой поэмы-драмы,—злодѣй, разбойникъ и убійца, сосланный за разбои и грабежи на каторгу, возвращается благополучно на родину, съ цѣлію добить остальныхъ своихъ враговъ, и потомъ столь же благополучно уходитъ назадъ.

Въ обоихъ произведеніяхъ, по словамъ біографа Рѣшетникова, Г. И. Успенскаго, читатель, если только онъ одолѣетъ весьма тяжелый стихъ, которымъ написаны эти произведенія,—непремѣнно увидитъ, что у автора ихъ есть и масса матеріала, и масса любви, и самородная, неудержимая потребность сказать свое слово; но нѣтъ ясности мысли, которая бы освѣтила надлежащимъ образомъ и матеріалъ этотъ, и силы самого автора, по рукамъ и по ногамъ связаннаго взглядами, пріобрѣтенными въ ссылкѣ и интересами канцелярской мелкоты:

Кромѣ упомянутыхъ двухъ вещей, Рѣшетниковъ написалъ и много другихъ, не сохранившихся въ въ его бумагахъ, и лишь упоминаемыхъ въ дневникѣ и письмахъ, каковы «Черное озеро», «Дѣловые люди» и пр. Эти произведенія, судя по дневнику, имѣютъ уже чисто обличительный характеръ и относятся, по времени, къ 1860-го и началу 61-го года.

Въ 1860 году Рѣшетниковъ получилъ мѣсто помощника столоначальника горнорабочаго стола въ томъ же уѣздномъ судѣ. Теперь онъ получилъ возможность примѣнить на дѣлѣ свои мечты о принесеніи пользы людямъ, участь которыхъ зависила отчасти отъ него. «Мнѣ страшно казалось, разсказываетъ Рѣшетниковъ, рѣшать участь человѣка, и я сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывалъ въ разныя мѣста, читалъ разныя копіи, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я былъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не заперто, и узналъ здѣсь очень многое».

Наткнувшись при этомъ чтеніи бумагъ на множество плутней, послужившихъ матеріаломъ для вышеозначенныхъ обличительныхъ произведеній, Рѣшетниковъ въ то же время пополнилъ свое знакомство съ народомъ, узнавъ всю подневольную зависимость простого человѣка отъ всѣхъ властей, не исключая самыхъ маленькихъ. Результатомъ этого знакомства было возникновеніе сознательной потребности приносить простымъ людямъ пользу посредствомъ литературной дѣятельности. Потребность эта еще болѣе была укрѣплена въ Рѣшетниковѣ знакомствомъ съ однимъ мастеровымъ Екатеринбургскаго монетнаго двора, который очень любилъ юношу, знакомилъ его съ бытомъ рабочихъ людей, совѣтовалъ ему жить честно, не якшаться съ пьянчужками и взяточниками...

По мѣрѣ того, какъ въ Рѣшетниковѣ укрѣплялось сознаніе, что помощію своихъ писаній, онъ можетъ сдѣлать кое-что полезное,—уѣздный судъ и Екатеринбургъ ему стали надоѣдать, и явилось желаніе перемѣнить службу и жить въ Перми: тамъ можно читать книги, тамъ у него школьные товарищи, подруга дѣтства, отъ которой онъ отказывался въ періодъ аскетизма, но которую теперь снова любилъ такъ же, какъ и въ дѣтствѣ.

Но не малую борьбу пришлось выдержать Рѣшетникову съ дядею, который не хотѣлъ и думать о переселеніи племянника въ Пермь. Нужно ли и говорить о томъ, что старикъ съ крайнимъ негодованіемъ смотрѣлъ на литературныя занятія племянника. «Я не ладилъ,—писалъ онъ ему изъ Курска, куда былъ откомандированъ по дѣламъ службы,—и даже не желалъ сдѣлать изъ тебя поэта или какого-нибудь дурака, а всегда старался сдѣлать изъ тебя умнаго и образованнаго человѣка»...

Долгое время длилась эта борьба, при чемъ каждый отстаивалъ свои взгляды, но наконецъ дядя понемногу началъ сдаваться. Видя, что племянникъ еще прилежнѣе продолжаетъ сидѣть надъ своими сочиненіями, онъ сталъ задумываться надъ этимъ несокрушимымъ постоянствомъ, какъ будто начиналъ вѣрить, что племянникъ дѣлаетъ это не спроста. Онъ уже не говорилъ ему,—«какую черную немочь пишешь?»,—какъ говаривалъ годъ тому назадъ, а кротко замѣтилъ: «Смотри, парень, какъ бы тебѣ не было худо». Мало-по-малу дядя до того озаботился этими непрестанными писаніями племянника, что рѣшился пригласить и угостить какого-то мѣстнаго литератора, чтобы тотъ посовѣтовалъ бы ему, какъ сочинять. Сочинитель не посовѣтовалъ ничего хорошаго, напротивъ, черезъ нѣсколько времени дядя узналъ, что сочинитель, несмотря на угощеніе, задумалъ всѣхъ ихъ описать въ газетахъ. Это сильно разозлило дядю; онъ вновь вознегодовалъ на сочинительство племянника и сгоряча «засвѣтилъ ему оплеуху»...

Тѣмъ не менѣе въ концѣ-концовъ Рѣшетникову удалось-таки завоевать самостоятельность отъ ига воспитателей: въ первой половинѣ 1861 года онъ взялъ изъ суда отпускъ и уѣхалъ въ Пермь искать своего счастія. Но немного счастія нашелъ онъ въ Перми. Почти все время отпуска ему пришлось странствовать по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ и канцеляріямъ въ тщетныхъ поискахъ мѣстечка, и при этомъ терпѣть сухіе и грубые отказы со стороны начальства и всякія оскорбленія и униженія отъ сторожей и швейцаровъ. Не малыми препятствіями къ опредѣленію его на службу служили съ одной стороны его бывшая подсудность, съ другой—обличительныя сочиненія, слухъ о которыхъ распространился по Перми, такъ какъ «Черное озеро» онъ посылалъ въ «Пермскія губернскія вѣдомости».

Лишь въ іюнѣ 1861 года онъ добился мѣста канцелярскаго служителя Казенной палаты. «Меня посадили,—пишетъ Рѣшетниковъ, — въ регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоитъ въ записываніи входящихъ бумагъ, над-

писяхъ на конвертахъ, отправляемыхъ изъ палаты, и печатаніи ихъ. Эта работа обременительна одному и при полученіи пяти или шести рублей жалованья кажется вдвое обременительной. Для ума же никакой пищи».

Какую нищету терпѣлъ онъ во все время пребыванія въ Перми, мы можемъ судить по слѣдующему относящемуся къ тому времени бюджету его: «за квартиру 1 р. 50 к., на говядину—30 фунтовъ по 3 коп. за фунтъ—90 к., хлѣба на 60 к. и молока на 60 коп. — «Буду жить,—замѣчаетъ онъ,—какъ Богъ велѣлъ». Терпя такую нужду, Рѣшетниковъ переживалъ въ то время свою первую любовь къ той дѣвушкѣ, о которой мы выше говорили. Любовь эта успѣха, конечно, не имѣла: дѣвушка нашла жениха болѣе обезпеченнаго, и Рѣшетникову осталось погрузиться въ литературный трудъ, что онъ и не замедлилъ сдѣлать.

Въ Перми у него нашлось нѣсколько судей его литературныхъ трудовъ и совѣтчиковъ: какой-то сослуживецъ Т. и редакторъ «Губернскихъ Вѣдомостей» П., которые все болѣе и болѣе направляли его на тотъ путь, на который выступилъ онъ въ своихъ «Подлиповцахъ». Такъ въ это время онъ написалъ разсказъ изъ заводской жизни «Скрипачъ» и драму «Раскольникъ». Нѣкоторыя сцены въ этой драмѣ, правда, носятъ еще печать пережитаго мистицизма. Такъ рѣчь раскольника написана стихами и въ объясненіи таинственной жизни этого человѣка въ уединеніи, среди лѣса, примѣшана доля монастырской морали. Но не въ личности раскольника суть драмы: она нужна автору для того лишь, чтобы сгруппировать вокругъ нея недовольные типы рабочаго народа,—и здѣсь Рѣшетниковъ, по словамъ его біографа, въ первый разъ является тѣмъ, что онъ есть. Заводскіе нравы, которымъ отдано въ драмѣ двѣ трети мѣста, изображены ярко, правдиво. Въ побужденіяхъ, руководившихъ этимъ народомъ въ побѣгахъ съ завода въ лѣсъ къ раскольнику, — все реально, просто, безъ малѣйшей примѣси чего-либо изъ области «сверхъестественнаго».

«Раскольника я кончилъ, — пишетъ Рѣшетниковъ въ своемъ дневникѣ,—стихосложеніе Первлесскаго мнѣ много помогло, безъ него я рѣшительно не могъ писать стиховъ... но все-таки они не стихи... Мнѣ надо свободу! мнѣ надо запереться для сочиненій... Матеріала у насъ очень много... Нашъ край обиленъ характерами. У насъ всякій, кажется, живетъ на особицу—чиновникъ, купецъ, горнорабочій, крестьянинъ... А сколько тайнъ изъ жизни бурлаковъ неизвѣстно міру? Отчего это до сихъ поръ никто не описалъ ихъ? Отчего нашъ край молчитъ, когда даже и Сибирь отзывается?»...

Послѣ неудачи въ любви пусто и одиноко стало Рѣшетникову въ Перми, и онъ началъ помышлять о Петербургѣ. Въ переселеніи въ столицу большое содѣйствіе оказалъ ему пріѣхавшій въ Пермь ревизоръ, у котораго онъ занимался на дому перепискою бумагъ. Ревизоръ полюбилъ его и, цѣня, какъ хорошаго писца и чиновника, обѣщалъ перевести въ Петербургъ, что и исполнилъ въ слѣдующемъ году. Весною 1863 года Рѣшетниковъ получилъ письмо отъ своего благодѣтеля съ разрѣшеніемъ ѣхать и обѣщаніемъ мѣста, и въ началѣ августа 1863 года Рѣшетниковъ былъ уже въ Петербургѣ.

IV.

Но и въ Петербургѣ много пришлось ему на первыхъ порахъ испытать горя. Хотя по протекціи ревизора онъ и получилъ занятія въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ, но жалованья ему пришлось получать всего 9 рублей въ мѣсяцъ. Жилъ онъ поэтому въ каморкѣ, рядомъ съ кабакомъ, и чтобы какъ-нибудь сводить концы съ концами, сталъ писать небольшіе очерки въ «Сѣверную Пчелу». Платили ему за нихъ плохо и неаккуратно. Одинъ изъ сослуживцевъ его, братъ молодого писателя, пріобрѣтшаго извѣстность и умиравшаго теперь въ клиникѣ, человѣкъ знакомый съ литературнымъ дѣломъ, надоумилъ снести только что написанныхъ «Подлиповцевъ» въ редакцію «Современника». Рѣшетниковъ такъ и сдѣлалъ, присоединивъ къ рукописи письмо къ Некрасову, въ которомъ онъ между прочимъ писалъ:

«Такихъ людей, какъ подлиповцы, въ настоящее время очень много не только въ Чердынскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, мѣстности самой глухой и дикой, но и въ смежныхъ съ нею — Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этихъ бѣдняковъ, потому что я 20 лѣтъ провелъ на берегу рѣки Камы, по которой весной мимо Перми плывутъ тысячи барокъ, и десятки тысячъ бурлаковъ,—я задумалъ написать бурлацкую жизнь, съ цѣлію хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь въ этомъ очеркѣ невозможное для пропуска. По моему, написать все это иначе—значитъ говорить противъ совѣсти, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы повѣрите, я даже плакалъ, когда передо мной очерчивался образъ Пилы, во время его мученій...

Напечатанные въ №№ 3 и 4 «Современника» за 1864 годъ, «Подлиповцы» сразу обратили на себя вниманіе публики и открыли молодому писателю доступъ во всѣ редакціи. Читатели «Современника» съ пожирающимъ интересомъ прочитали этотъ тяжелый, неуклюжій по формѣ разсказъ, написанный дубовымъ топорнымъ языкомъ, состоящимъ сплошь изъ коротенькихъ, обрывистыхъ фразъ. Ужасомъ исполнились сердца всѣхъ народолюбцевъ при видѣ поразительныхъ картинъ нищеты подлиповцевъ, ихъ упорной борьбы съ голодною смертію и невыносимыхъ страданій... Никто не воображалъ, что въ нѣдрахъ богоспасаемой Россіи могли существовать дикари, подобно неграмъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ обращенные во вьючный скотъ. Между тѣмъ разсказъ подкупалъ своею правдивостью. Передъ читателями былъ не опытный, хитроумный художникъ, которому ничего не стоитъ и присочинить ради эффекта, а безыскусственный самоучка, едва справляющійся съ литературными фор-

мами и языкомъ, пишущій лишь для того, чтобы объявить всенародно, какъ страдаютъ подлиповцы, и помочь имъ этимъ плачемъ. И дѣйствительно, вышло нѣчто въ русской литературѣ небывалое: не повѣсть, не разсказъ, къ какимъ публика привыкла, а въ полномъ смыслѣ протоколъ. Хотя и слышались въ каждой строкѣ тѣ затаенныя слезы, о которыхъ писалъ Рѣшетниковъ Некрасову, тѣмъ не менѣе авторъ ни малѣйшаго усилія не обнаружилъ, чтобы разжалобить читателей этими слезами. До послѣдней строки онъ остался невозмутимо спокоенъ, сухъ и лаконичень, будто разсказывалъ о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, ни мало не трагическихъ.

Съ пріобрѣтеніемъ литературной извѣстности, жизнь Рѣшетникова значительно улучшилась; онъ пересталъ теперь испытывать прежнюю нужду, доходившую порою до полнаго голода. Особенно положеніе его сдѣлалось обезпеченнымъ съ переходомъ «Отечественныхъ Записокъ» въ аренду Некрасову (съ 1868 г.). Къ этому времени онъ успѣлъ уже жениться на одной своей землячкѣ, такой же, какъ и онъ, круглой сиротѣ, прибывшей въ Петербургъ на свой хлѣбъ. (Въ романѣ его «Свой хлѣбъ» описана жизнь именно жены его, Серафимы Семеновны, по его собственнымъ словамъ). Когда я съ нимъ познакомился, онъ жилъ уже не одинокимъ бобылемъ, ютящимся въ меблированныхъ комнатахъ и продовольствующимся въ дешевыхъ кухмистерскихъ; у него была уютненькая квартирка въ три, четыре комнатки съ скромною, но полною семейною обстановкою, и онъ имѣлъ уже двухъ дѣтокъ, мальчика и дѣвочку. Но столичная жизнь мало все-таки обломала его въ культурномъ отношеніи, и онъ оставался все тѣмъ же выходцемъ изъ башкирскихъ степей, какимъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Невысокаго роста, съ лицомъ широкимъ, какъ лопата, круглымъ и лунообразнымъ, и съ узенькими подслѣповатыми глазками, онъ выглядѣлъ типическимъ инородцемъ монгольской расы. Особенно же когда начиналъ онъ сосать свою носогрѣйку съ коротенькимъ чубукомъ, вамъ такъ и хотѣлось спросить у него, что ужъ не онъ ли тотъ самый воспѣтый Пушкинымъ «финскій рыболовъ, печальный пасынокъ природы», который «бросалъ въ невѣдомыя воды свой ветхій неводъ?» Вотъ, въ какомъ видѣ рисуетъ его хорошо его знавшій біографъ, Гл. Ив. Успенскій:

«Онъ былъ угрюмъ, неразговорчивъ, необщителенъ, порою грубъ... Отъ всѣхъ сторонился, смотрѣлъ волкомъ, ко всему и всѣмъ былъ подозрителенъ; рѣдко, рѣдко добродушная улыбка освѣтитъ это угрюмое лицо... Никакихъ блестящихъ фразъ онъ не говорилъ, а если и принимался разсказывать что-нибудь, то рѣчь его касалась всегда предметовъ наиобыденнѣйшихъ, была длинна, расплывалась въ мелочахъ и утомляла тѣмъ болѣе, что Рѣшетниковъ говорилъ монотонно, «себѣ подъ носъ», не выпуская изъ зубовъ коротенькой трубочки, отчего каждое слово отдѣлялось паузой. Наблюдатель уходилъ ни съ чѣмъ, чтобы потомъ, при появленіи новаго произведенія Ѳ. М. удивляться по прежнему смѣшенію въ этомъ « совершенно обыкновенномъ» человѣкѣ «великаго и малаго»...

Словомъ, застѣнчивый, робкій, неловкій, онъ невольно напоминалъ собою одного изъ тѣхъ подлиповцевъ, какихъ изобразилъ въ своей знаменитой повѣсти. Въ то же время простой, искренній, дѣтски-наивный, какъ ребенокъ или дикарь, попавшій въ столичный омутъ изъ глуши своей родины, онъ привлекалъ людей, знавшихъ его, непосредственностью и цѣльностью своей натуры, тѣмъ болѣе, что не только въ свои произведенія, но и въ самую жизнь онъ старался вносить то же участіе къ народу и заботы объ оказаніи ему всяческой помощи.

«Въ бумагахъ Ѳ. М.,—говоритъ біографъ его,—мы нашли много подлинныхъ доказательствъ этой истинной любви къ человѣку. Вотъ записка о какомъ-то пропавшемъ мальчикѣ съ обозначеніемъ примѣтъ, выписанныхъ изъ газеты на случай, не удастся ли найти его; вотъ не напечатанная статья о дурной пищѣ чернорабочихъ, старающаяся кого-то убѣдить, что простому народу нуженъ свѣжій воздухъ и т. д. Между этими бумагами особенно интересно прошеніе, адресованное Ѳ. М-мъ Спб. оберъ-полицеймейстеру. Въ прошеніи этомъ Рѣшетниковъ разсказываетъ слѣдующее: вздумалось ему однажды пойти въ концертъ; прочитавъ афишу и не замѣтивъ, что она вчерашняя, старая, онъ отправился въ дворянское собраніе, гдѣ вѣроятно въ это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустилъ Ѳ. М. въ подъѣздъ; онъ пошелъ въ другой—и тамъ не пустили, « прогнали прочь », по собственному его выраженію. Ѳ. М. разсердился и отвѣтилъ, на него прикрикнули: — «Куда ты лѣзешь? Кто ты такой?»—«Мастеровой!» отвѣчалъ Ѳ. М... Результатомъ такого отвѣта было то, что Рѣшетниковъ ночевалъ въ части, откуда вышелъ весь избитый, безъ денегъ и кольца.» Довожу объ этомъ до свѣдѣнія вашего пр—ства,— писалъ онъ въ прошеніи.—Я ничего не ищу. Я только объ одномъ осмѣливаюсь утруждать васъ, чтобы пристава, подчастки, городовые не били народъ.. Этому народу и такъ приходится получать всякой всячины»...

Вообще нужно замѣтить, что наивное незнаніе людей и жизни очень часто ставило Рѣшетникова впросакъ и вело за собою рядъ комическихъ случаевъ анекдотическаго характера. Такъ я былъ свидѣтелемъ другой неудачной попытки Рѣшетникова изобразить изъ себя меломана, не имѣвшей, впрочемъ, такого трагическаго характера, какъ вышеозначенная.

Въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ постоянные сотрудники «Отечественныхъ Записокъ» каждую недѣлю собирались то у одного, то у другого товарища провести вечеръ, не задаваясь никакими цѣлями, и ограничиваясь однѣми дружескими бесѣдами. Бывалъ на этихъ бесѣдахъ и Рѣшетниковъ. Однажды такимъ образомъ мы собрались у покойнаго Демерта. Вечеръ подходилъ уже къ концу; сѣли ужинать; Рѣшетникова все еще не

было. Думали, что его и совсѣмъ уже не будетъ. Какъ вдругъ часовъ около двѣнадцати является Рѣшетниковъ сильно уже на-веселѣ По словамъ его оказалось, что онъ былъ въ итальянской оперѣ, въ Большомъ театрѣ, ходилъ слушать Патти. Забрался онъ въ парадизъ и ничего не видѣлъ: одна люстра передъ глазами. Ну, а какъ же онъ нашелъ голосъ дивы?—спрашиваютъ у него.

— «Что голосъ?—отвѣчалъ онъ обычнымъ своимъ мрачнымъ тономъ. — Выдумали тоже голосъ! Кричатъ всѣ: Патти, Патти! Вышла, завизжала, какъ кошка драная! Я рукой махнулъ и весь вечеръ въ буфетѣ просидѣлъ... Вотъ ваша Патти!..

Въ концѣ-концовъ оказалось, что Патти въ тотъ вечеръ совсѣмъ и не пѣла. Рѣшетниковъ не позаботился заглянуть на афишу и принялъ за Патти другую какую-то пѣвицу.

Помню я еще одинъ комическій эпизодъ, случившійся въ самой редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Въ квартирѣ Некрасова по понедѣльникамъ отъ часу до четырехъ пополудни были редакціонныя пріемныя собранія, на которыхъ кромѣ сотрудниковъ собиралось много и посторонняго народу, имѣющаго какое-либо дѣло до редакціи. При этомъ сообщались новости, разсказывались анекдоты, завязывались оживленные разговоры и горячіе споры.

Такъ вотъ однажды собралось много народу, человѣкъ до тридцати. Зашла рѣчь о томъ, что въ прежнія времена беллетристы были несравненно образованнѣе и начитаннѣе нынѣшнихъ.

— «Нынѣшніе только и знаютъ, что пишутъ, а сами ничего не читаютъ, кромѣ своихъ собственныхъ сочиненій, — ораторствовалъ Салтыковъ, — вотъ, напримѣръ, хотя бы Рѣшетниковъ...

Приведя въ примѣръ Рѣшетникова, Салтыковъ былъ въ полной увѣренности, что Рѣшетникова не было въ редакціи. А Рѣшетниковъ какъ разъ въ эту самую минуту вошелъ и стоялъ сзади Салтыкова, такъ что тотъ его не видѣлъ. И представьте себѣ смущеніе Салтыкова, когда вдругъ сзади него раздался голосъ Рѣшетникова:

— «Пятьсотъ томовъ собралъ, — всѣ подлецы растащили!

Раздался, конечно, общій хохотъ. Не помню ужъ, какъ вывернулся Салтыковъ изъ неловкаго положенія.

Была или не была у него библіотека въ пятьсотъ томовъ, во всякомъ случаѣ изъ оставшихся послѣ смерти Рѣшетникова бумагъ видно, что ни на одну минуту не покидало его желаніе «научиться», развить себя. Онъ читалъ книги, дѣлалъ изъ нихъ извлеченія.

Какъ велики были его трудолюбіе и усидчивость, можно судить потому, что большую часть произведеній онъ написалъ въ теченіе всего на все семи лѣтъ: съ 1864-го по 1871-й. При этомъ нужно еще взять во вниманіе его слабость къ вину, приводившую его къ частымъ запоямъ.

Понятно, что не надолго хватило силъ человѣка, жизнь котораго была подобна свѣчѣ, горѣвшей разомъ съ двухъ концовъ. 9-го марта 1871 г. онъ умеръ на тридцатомъ году жизни, отъ отека легкихъ.

V.

Если отъ каждаго писателя вы вправѣ требовать лишь то, что онъ способенъ вамъ дать, то тѣмъ болѣе относится это къ Рѣшетникову. Изъ всѣхъ представленныхъ фактовъ его жизни вы можете судить, что передъ вами въ полномъ смыслѣ этого слова самоучка, не получившій никакого образованія, и потому чуждый какихъ бы то ни было философскихъ міровоззрѣній или эстетическихъ требованій. Произведенія его можно сравнить съ рисунками самородныхъ художниковъ, дѣтей природы, углемъ на стѣнѣ, безъ малѣйшаго знанія перспективы, и тѣмъ не менѣе обнаруживающихъ самобытный талантъ. Когда писалъ Рѣшетниковъ свои разсказы, ему и въ голову не приходило что-либо «создавать», «проводить сквозь горнило творчества» и т. п. Онъ являлся своего рода народнымъ трибуномъ или проще сказать «докладчикомъ», ни о чемъ болѣе не помышлявшимъ, какъ лишь о томъ, чтобы «сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ», какъ онъ выразился въ вышеприведенномъ письмѣ Некрасову, и чтобы «пристава, подчастки, городовые не били народъ, которому и такъ приходится получать всякой всячины», какъ онъ писалъ въ просьбѣ оберъ-полицмейстеру.

На этомъ основаніи, приступая къ чтенію разсказовъ Рѣшетникова, вы должны отрѣшиться отъ всѣхъ тѣхъ ожиданій и требованій, съ которыми вы относитесь къ большинству беллетристическихъ произведеній, т. е. не искать въ нихъ ни занимательныхъ сюжетовъ, ни интересныхъ и выдающихся въ какомъ-либо отношеніи типовъ, а тѣмъ болѣе психическаго анализа по поводу обольстительныхъ свиданій въ ночной тиши, трогательныхъ разлукъ вслѣдствіи взаимнаго разочарованія или же внезапно налетѣвшихъ сомнѣній въ возможности счастья на землѣ и т. п. Кто во всемъ этомъ видитъ исключительно поэзію, тому, конечно, произведенія Рѣшетникова должны показаться крайне-прозаичными. Въ нихъ только и выводятся, что кухарки да дворники, семинаристы да почтальоны, извозчики да бурлаки, мастеровые да фабричные и т. п. Пусть бы и изъ этого люда онъ выбиралъ особенныя, избранныя натуры и показалъ бы намъ напримѣръ какого-нибудь генія, который могъ бы сдѣлаться вторымъ Ломоносовымъ, а судьба судила его мести дворъ; пусть бы онъ представилъ намъ, какъ бьется этотъ Прометей, прикованный къ своего рода скалѣ ничтожества, и заключилъ бы разсказъ эффектной развязкой въ родѣ сумашествія, убійства, разбоя, а то его герои люди подърядъ, люди самые обыкновенные изъ обыкновенныхъ чернорабочихъ, которыхъ ежедневно вы сотнями встрѣчаете на улицѣ. Самымъ спокойно-серьезнымъ тономъ, безъ малѣйшей улыбки, описываетъ онъ, какъ эти люди мѣняютъ мѣста, квартиры, голодаютъ, пьютъ водку, какъ ихъ бьютъ и таскаютъ

по участкамъ городовые и дворники,—однимъ словомъ, чѣмъ ежедневно занимается чернь. Изображаетъ онъ все это, отправляясь отъ той мысли, что жизнь народа есть жизнь не двухъ трехъ талантливыхъ избранниковъ, стоящихъ головою выше окружающихъ ихъ людей одной съ ними среды, а обыденныхъ смертныхъ, которыхъ миріады кишатъ повсюду, и писатель, чтобы представить общій уровень жизни своего вѣка, долженъ обращать главное вниманіе на то, какъ живетъ, къ чему стремится именно эта пестрая, безразличная толпа, среди которой ничто особенно рѣзко и картинно не выдается, но общій итогъ трудовъ, интересовъ, радостей и страданій которой и есть именно итогъ жизни вѣка.

Но въ то же время было бы крайне ошибочно видѣть въ Рѣшетниковѣ натуралиста-фотографа, который изображалъ бы первое, что попадается ему на глаза, безъ всякаго разбора и цѣли. Всѣ произведенія его, начиная съ «Подлиповцевъ» и кончая романомъ «Гдѣ лучше», проникнуты одной идеей. Во всѣхъ произведеніяхъ своихъ Рѣшетниковъ старается представить основной принципъ, существенное стремленіе жизни народныхъ массъ. Этотъ принципъ, по его мнѣнію, заключается не въ чемъ другомъ, какъ во всеобщемъ стремленіи устроить свою жизнь во всѣхъ отношеніяхъ счастливо, пріобрѣсти для этого богачество и найти такое мѣсто на землѣ, гдѣ было бы «жить лучше».

Правда, герои Рѣшетникова не имѣютъ и тѣни тѣхъ высшихъ умственныхъ и нравственныхъ потребностей, которыя мы усвоиваемъ въ нашемъ завидномъ развитіи; они ни о чемъ не помышляютъ, какъ лишь о томъ, какъ бы пріобрѣсти кусокъ хлѣба хоть сколько-нибудь не скудный и не черствый,—однимъ словомъ, руководствуются въ жизни своей исключительно все такими побужденіями, которыя мы съ нашего высока привыкли третировать, какъ низменныя, мѣщанскія; но было бы совершенно ложно видѣть въ этихъ мѣщанскихъ побужденіяхъ признакъ застоя. Напротивъ того, мы видимъ въ нихъ непрестанное движеніе, полное той желѣзной мощи и непреклонной энергіи, какими только можно объяснить себѣ, почему движеніе это не сломилось доселѣ, несмотря на то, что всѣ стремленія милліоновъ людей къ улучшенію своей участи ничего до сего дня не встрѣчали, кромѣ неодолимыхъ преградъ,—и удивительный реалистъ Рѣшетниковъ въ томъ отношеніи, что, представляя намъ подвиги дѣйствующихъ лицъ своихъ разсказовъ, поистинѣ героическіе, онъ не мало не идеализируетъ ихъ, не ставитъ на пьедесталы, не заставляетъ насъ смотрѣть на нихъ снизу вверхъ, а напротивъ того, наивно предлагаетъ намъ, какъ самыхъ обыкновеннѣйшихъ смертныхъ. Вы посмотрите, напримѣръ, на Пелагею Прохоровну Горюнову, героиню романа «Гдѣ лучше». Что особеннаго находите вы въ ней? Заурядную работницу, какихъ тысячи. Она помышляетъ лишь о томъ, какъ бы найти такой трудъ, который сдѣлалъ бы жизнь ея хоть сколько-нибудь пріятною. Изъ-за этого она мѣняетъ мѣста, занятія, идетъ изъ города, доходитъ до Петербурга. Опять-таки милліоны рабочаго люда обоихъ половъ живутъ такимъ же образомъ, ищутъ, домогаются, странствуютъ, и вокзалы желѣзныхъ дорогъ ежедневно тысячи извергаютъ подобныхъ героевъ, съ котомками и узлами за спиною, въ шумныя улицы столицъ. Что же тутъ необыкновеннаго? Но вдумайтесь, сколько трагическаго заключается въ этомъ обыкновенномъ. Развѣ много найдете вы среди нѣжныхъ барышень, воспитанныхъ на булочкахъ да на сливочкахъ и потомъ развившихъ въ себѣ жажду высшаго прогресса, которыя были бы способны изъ-за своихъ возвышенныхъ стремленій пройти тысячи верстъ, какъ прошла ихъ Горюнова, неуклонно движимая такими побужденіями, на которыя мы привыкли смотрѣть, какъ на унижающія природу человѣка? Что же будетъ изъ подобныхъ людей, когда они додумаются до какихъ-нибудь положительныхъ общественныхъ стремленій? Очень можетъ быть, что, нисколько не заботясь о разныхъ возвышенныхъ стремленіяхъ, изъ одного естественнаго желанія улучшить свое матеріальное благосостояніе,—они покажутъ намъ образцы такого общественнаго героизма, о которомъ и не снилось всѣмъ нашимъ эффектнымъ титанамъ въ родѣ «трезвыхъ реалистовъ» времени Рѣшетникова или же «сверхчеловѣковъ» сего дня.

Посмотрите съ другой стороны, какую страшную трагедію раскрываетъ передъ нами Рѣшетниковъ въ участи своихъ героевъ. Какъ ни ужасно зрѣлище мучительной смерти борца за свои идеи, за правду, за стремленіе къ той или другой, возвышенной цѣли, но когда вы смотрите на подобное зрѣлище, у васъ невольно является мысль, что всѣ мученія выкупаются въ сердцѣ героя сторицей сладкимъ сознаніемъ, что онъ могъ идти или не идти на мучительную смерть, и если пошелъ, то самъ избралъ этотъ исходъ, какъ наиболѣе сообразный со своими убѣжденіями, что онъ умираетъ для блага ближнихъ, не измѣнивъ правдѣ, что его позорная смерть отзовется въ тысячахъ сердецъ, и придетъ время, когда люди, позорящіе и мучающіе его, будутъ славить и превозносить его.

Но чѣмъ выкупается та гибель, которая ежедневно постигаетъ тысячи безвѣстныхъ людей ни за-что, ни про-что, и они сходятъ съ поприща жизни, невѣдомые, неоплаканные? Здѣсь являются на сцену самыя элементарныя потребности, безъ которыхъ невозможно существованіе, такъ что и представиться не можетъ мысли о томъ, что человѣкъ могъ избрать своимъ удѣломъ гибель или не избрать. Здѣсь гибель неминуемая, безысходная, угрожающая на каждомъ шагу и притомъ безъ цѣли, безъ смысла, ничѣмъ невыкупаемая, неоправдываемая. Влачить ежедневно самое ужасное существованіе въ какомъ-нибудь сыромъ, затхломъ и смрадномъ подвалѣ, не доѣдать, не допивать, не знать, что будетъ завтра, попадешь ли въ часть, помрешь ли съ голоду или въ больницѣ,—неужели можетъ быть что-нибудь трагичнѣе этого положенія? Здѣсь трагедія является не исходомъ роковой

борьбы, не катастрофой, а ежедневнымъ явленіемъ жизни человѣка. Вы посмотрите, напримѣръ, на мытарства Горюновой въ Петербургѣ. Обратите вниманіе на всѣ ея скитанія по съѣзжимъ дворамъ и улицамъ столицы, на всѣ тѣ страшные побои, униженія и страданіе, которыя перенесла несчастная молодая женщина въ самой цвѣтущей порѣ своей жизни. Для чего все это? Для того, чтобы, едва хоть сколько-нибудь улыбнулись обстоятельства, умереть безсмысленною смертью въ больницѣ! Почти такую же картину представляетъ жизнь Петра Ивановича Кузьмина въ повѣсти «Между людьми», человѣка изъ другой сферы, — именно чиновнаго пролетаріата: и здѣсь мы видимъ то же стремленіе пробиться изъ-подъ гнета обстоятельствъ и устроить жизнь хоть сколько-нибудь сносную, и тотъ же печальный исходъ, еще болѣе мрачный и ужасный, чѣмъ случайная смерть Горюновой.

Нѣтъ ничего мудренаго, что при такой жизни, какую принуждены вести герои Рѣшетникова, водка является единственнымъ утѣшеніемъ, заставляющимъ забывать и холодъ продрогнувшихъ, истощенныхъ членовъ, и ѣдкое горе вѣчныхъ неудачъ, лишеній и униженій всякаго рода. Герои Рѣшетникова сплошь и рядомъ спиваются и гибнутъ отъ водки. Но удивительный въ этомъ отношеніи знатокъ жизни и человѣческой природы Рѣшетниковъ. Ни одного героя въ его произведеніяхъ не найдете вы, который спивался бы такъ, какъ дѣлали это герои старинныхъ повѣстей, изображавшихъ сильныя натуры, топящія въ винѣ свое горе. Такой герой въ началѣ повѣствованія являлся рыцаремъ трезвости, не бралъ въ ротъ ни малѣйшей капельки. Но вотъ онъ разочаровывался въ родныхъ, сосѣдяхъ, самомъ себѣ. Подъ гнетомъ отчаянія, тоски и мрачной злобы, въ одинъ прекрасный день или чаще ненастный вечеръ, онъ приходилъ, ни слова не говоря, въ кабакъ и долго сидѣлъ тамъ въ печальномъ раздумьѣ, положивъ голову на руки къ великому изумленію цѣловальника и посѣтителей; потомъ требовалъ неожиданно полуштофъ водки, отчаянно махнувши рукой, выпивалъ его почти залпомъ — и въ одно мгновеніе превращался изъ трезваго человѣка въ горькаго пьяницу. Послѣ того онъ почти не выходилъ уже изъ кабака, и черезъ нѣкоторое время авторъ разсказа встрѣчалъ его въ одномъ изъ заведеній, обрюзгшаго, грязнаго, оборваннаго, пьющаго безъ конца, и съ истерическими рыданіями, жалобами на весь міръ, онъ разсказывалъ автору исторію своей неудавшейся, заѣденной средой жизни.

Ни въ одномъ разсказѣ Рѣшетникова вы не найдете ни малѣйшей тѣни подобнаго мелодраматизма. Онъ очень хорошо понималъ, что если и бываютъ случаи, что человѣкъ, не берущій въ ротъ ни капли вина, вдругъ запиваетъ въ порывѣ отчаянія, то они чрезвычайно рѣдки, исключительны. При всей ихъ эффектности они далеко не представляютъ собою той мрачной и ужасающей картины пьянства, которую вы на каждомъ шагу встрѣтите въ жизни народа. Какъ истинно реальный писатель, заботящійся, чтобы произведенія его были не одной кунсткамерой, т. е. собраніемъ необычайныхъ рѣдкостей, а изображали бы явленія жизни общія, встрѣчающіяся заурядъ, Рѣшетниковъ обращалъ главное вниманіе на то, какъ спиваются люди обыкновенно — и здѣсь передъ нами развертывается картина неизмѣримо драматичнѣе, чѣмъ всевозможные случаи внезапнаго запоя. Ужаснѣе всего здѣсь то, что спивающійся человѣкъ имѣетъ дѣло съ такимъ врагомъ, котораго и самъ не замѣчаетъ. Пьянство является коварной змѣей, которая тихо и незамѣтно вкрадывается въ природу человѣка. Сначала человѣкъ пьетъ, какъ и всѣ другіе, не меньше, не больше, смотритъ на это, какъ на развлеченіе, полезную необходимость, нисколько не считая себя пьяницей. Но вотъ обстоятельства его дѣлаются хуже; на сердцѣ скребутъ кошки; куда ни взглянетъ бѣднякъ, — кисло, мрачно, непріязненно смотритъ на него будничная обстановка жизни; въ кабакѣ же веселье, пѣсни, и послѣ сороковки, другой, море по колѣно — разомъ можно почувствовать себя богатыремъ, способнымъ весь міръ сжать въ кулакъ. Поэтому чаще и чаще начинаетъ бѣднякъ направляться къ кабаку. Но все таки онъ не считаетъ себя еще пьяницей: онъ развлекается, веселится: въ то же время мечтаетъ, можетъ быть, о томъ, какую трезвую, трудовую жизнь поведетъ онъ, когда поправятся обстоятельства.

Но съ которыхъ же поръ считать ему себя пьяницей? Гдѣ положить границу и сказать: вотъ мѣсяцъ тому назадъ я хоть и напивался, но пьяницей еще не былъ, а теперь я уже пьяница? Какой физіологъ опредѣлитъ, съ которыхъ поръ въ какой натурѣ водка перестаетъ уже быть однимъ только минутнымъ стремленіемъ забыться, а дѣлается уже болѣзненною потребностью природы? Поэтому человѣкъ очень часто, сдѣлавшись уже горькимъ пьяницей, ни мало объ этомъ не думаетъ, и только тогда приходитъ къ печальному сознанію, когда нѣтъ болѣе выхода: пьянство успѣло уже сдѣлаться потребностью организма.

Такъ, напримѣръ, спился вышеупомянутый Кузьминъ во время своихъ мытарствъ въ столицѣ... Не только и самъ онъ, но и вы, перелистывая страницу за страницей, не можете отдать себѣ отчета, съ которыхъ поръ считать Кузьмина пьяницей. Вы видите только, что съ каждой неудачей, по мѣрѣ того, какъ положеніе его дѣлается хуже и хуже, онъ все чаще и чаще начинаетъ выпивать и подъ конецъ повѣсти является передъ вами полнѣйшимъ уже завсегдатаемъ кабаковъ, потѣшающимъ пьяный народъ игрой на гитарѣ... Но и въ такомъ даже состояніи онъ не сознаетъ, что онъ — пьяница съ горя, и не строитъ какихъ-либо мелодраматическихъ позъ по этому случаю.

— Опять я живу, — говоритъ онъ, — съ Гаврилою Матвѣевичемъ, и продаю вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего... дуракъ.

— Странно, что я нынѣ съ двухъ стакановъ хмелѣю. Ахъ, если бы на родину уѣхать! А кашель душитъ...

Видите, какъ безсознательно относится онъ къ

своему пьянству: въ кабаки онъ ходитъ, чтобы смотрѣть народъ, и сѣтуетъ только на безцѣльность этого; въ то же время удивляется съ чисто-гигіенической точки зрѣнія, что онъ началъ хмелѣть съ двухъ стакановъ.

Почтальонъ изъ семинаристовъ, Макся, спивается еще проще, чѣмъ Кузьминъ. Здѣсь пьянство развивается не вслѣдствіе острыхъ ударовъ судьбы, и прямыхъ сознательныхъ огорченій, а такой обстановки жизни, при которой человѣку только и остается, что пить и пить. Макся служилъ сначала разносчикомъ писемъ по городу, потомъ состоялъ при конторѣ, парень былъ расторопный, усердный; почтмейстеръ хотѣлъ было сдѣлать его начальникомъ станціи, но по проискамъ старшаго почтальона его разжаловали въ разъѣздъ съ почтами. Макся не только не огорчился отъ такого разжалованья, но былъ ему очень радъ: ему улыбалась перспектива вѣчныхъ разъѣздовъ, представлялась въ высшей степени поэтической.

Но не долго продолжалась эта радость: ѣзда ему опротивѣла съ седьмого раза; опротивѣли ему ухабы, чемоданы, морозы, вѣтры, ямщики и многое, многое опротивѣло Максѣ до того, что онъ сталъ проклинать и дороги, и почты. Единственное утѣшеніе онъ сталъ находить въ придорожныхъ кабакахъ, куда завертывалъ, чтобы согрѣться чаркою водки самому, согрѣть за компанію и ямщика, который везъ его, и затѣмъ крѣпче заснуть въ телѣгѣ до слѣдующей остановки опять у кабака. Такъ онъ и самъ не замѣтилъ, какъ сдѣлался горчайшимъ пьяницей, сбившимся съ толку до того, что въ пятый мѣсяцъ постоянно пріѣзжалъ съ почтой пьяный, даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потерялъ дорогой.

Еще разъ повторяемъ—среди писателей, изображавшихъ бытъ простого народа не мало найдете вы такихъ, которые значительно превосходили Рѣшетникова и силою своихъ художественныхъ талантовъ, и проникновеніемъ во многія существенныя стороны народной жизни, но едва ли найдется равный Рѣшетникову по безхитростной правдивости своихъ разсказовъ, чуждой малѣйшей фальши, битья на эффекты, идеализаціи и сентиментальности.

А. Скабичевскій.

Подлиповцы.

I.
ПИЛА И СЫСОЙКО.

Деревня Подлипная очень непривлекательна на видъ. Она состоитъ изъ шести домиковъ, построенныхъ по лѣвую сторону дороги, идущей отъ другихъ деревень, и разбросанныхъ по неровной мѣстности такъ, что одинъ домикъ стоитъ выше другого, другой около дороги, а третій и прочіе пятятся къ лѣсу. Домики эти,— четыре съ крышами, два безъ крышъ, съ соломой на потолкѣ, съ слюдой въ оконныхъ рамахъ, съ стайками и плетушками,—огорожены такъ: вколотили въ землю нѣсколько тонкихъ березовыхъ кольевъ, да и связали за нихъ, параллельно къ землѣ гдѣ по двѣ, гдѣ по три березки, и назвали плетнемъ. Воротъ въ Подлипной вовсе нѣтъ. Добробы лѣсу не было, а то кругомъ деревни лѣсъ высокій и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какіе дома построить и заплоты дощаные съ воротами сдѣлать... «А пошто?» спроситъ подлиповецъ, не понимая.—«А и такъ, тожно, баско!»... За дворами не видится ригъ или зародовъ сѣна, нѣтъ огородовъ съ овощами. Только направо замѣтны гряды съ капустой, морковью и преимущественно картофелемъ.

Самая мѣстность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть лѣтомъ. Противъ домиковъ, черезъ дорогу, за грядами, большое поле, ничѣмъ не огороженное, потомъ лѣсъ, а въ лѣвой сторонѣ тоже поле, а за полемъ тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели и липы. Лѣтомъ досадно становится, какъ посмотришь на поля: земля кое-какъ вспахана, кое-гдѣ на засохшихъ кочкахъ видится травка, да развѣ двѣ-три лошади шатаются по полю, да и то не долго: онѣ идутъ въ лѣсъ, тамъ больше травы. «Пробовали», сказываютъ подлиповцы, «ужъ какъ вспахивали землю: и поздно, и рано, да проку нѣтъ. Вспахаешь, — стужа настанетъ, либо дождь, потомъ жара; все окоченѣетъ, а тамъ дождь, иней, снѣгъ... Пробовали и за хлѣбушкомъ ходить, да все не въ толкъ: только начинаетъ созрѣвать хлѣбъ,— баско! вдругъ дожди, заморозки, снѣгъ... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ѣшь такъ съ горячей водой, либо настоящей мучки смѣшаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь»... Зимой частые вѣтры да вьюги по полю, снѣга большіе до полъ-оконъ заметаютъ домики, а которые ниже, то и до крышъ, а дороги и слѣдъ простылъ.

Мало въ этой деревнѣ видится жизни. Лѣтомъ еще можно увидать мужчину, или женщину, или ребятъ на полѣ или около домиковъ, но зато не слышится веселаго говора, не слышится пѣсенъ, у всѣхъ точно какое-то горе, какое-то болѣзненное состояніе. На что дѣти,—и тѣ рѣзвятся какъ-то словно нехотя: побѣжитъ, упадетъ, заплачетъ и побѣжитъ домой; даже лошади, коровы и свиньи ходятъ какъ-то сонно; однѣ только девять курицъ да два пѣтуха бѣгаютъ скоро, и воздухъ оглашается крикомъ крестьянъ на животныхъ, лаемъ одной собаки, единственнаго деревенскаго сторожа, уцѣлѣвшей какимъ-то чудомъ отъ бойни хозяина, желавшаго употребить ея шкуру на шапку, крикомъ куръ, маленькихъ ребятъ да чириканьемъ коростелей въ болотѣ... Зимой еще хуже. Тогда всѣ дома точно погребены снѣгомъ, на дорогѣ цѣлую недѣлю не видать слѣдовъ человѣческихъ, все какъ будто спряталось, только кой-гдѣ корова промычитъ, да рыщетъ по полю собака. Такъ вотъ и кажется, что люди вымерли или напала на нихъ спячка.

Въ самыхъ домахъ тоже не лучше. Самое худое время это—зима. Вездѣ бѣдная обстановка, нечистота, плачъ и стоны; половина лежитъ, половина сидитъ молча или что-нибудь дѣлаетъ, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всѣмъ имъ жизнь опротивѣла, всѣ чѣмъ-то мучатся, всѣмъ постылъ свѣтъ божій... А есть между ними и молодые ребята, и молодыя дѣвушки; правда, нѣтъ красивыхъ, но все-таки и у нихъ есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живутъ въ этой деревнѣ государственные крестьяне, Чудиновской волости, Чердынскаго уѣзда, бѣдные люди, какихъ много въ сѣверной части этого уѣзда, но еще бѣднѣе прочихъ крестьянъ. У крестьянъ прочихъ деревень есть какая-нибудь промышленность, природа даетъ имъ что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудомъ. Ужъ какъ они ни воздѣлывали землю, какъ ни молились

своимъ пермякскимъ богамъ, чтобы хлѣбушко свой былъ,—нѣтъ ничего. Такъ и бросили поле, и вотъ уже второй годъ, какъ поле стоитъ нетронутымъ и даетъ только небольшую травку животнымъ. Купить хлѣба подлиповцамъ не на что. Положимъ, они нарубятъ лѣсу, но куда везти?—городъ отъ нихъ въ ста верстахъ. Положимъ, скосятъ въ лѣсу траву и можно будетъ излишекъ продать,—опять-таки городъ далеко; а въ другихъ деревняхъ и селахъ свое сѣно, свои дрова и свой лѣсъ,—каждый бы самъ продалъ. Вотъ они, сдѣлавъ кадки, наберухи, лапти, везутъ это на продажу въ городъ; но тамъ и безъ нихъ много такихъ горемыкъ, какъ подлиповцы, и всякій сбываетъ за безцѣнокъ, лишь бы хлѣбушка купить. Занимаются они и стрѣляніемъ рябковъ, ходятъ на медвѣдей; но на порохъ надо деньги, а медвѣдя хотя и можно убить ломомъ чугуннымъ или чѣмъ инымъ, такъ медвѣдей нынѣ мало. Сбыта очень мало, и рѣдкій много-много получитъ въ лѣто или зиму рубля три. Отъ этого у нихъ явилась апатія, всѣ они потеряли надежду на сбытъ чего-нибудь, и рѣдкаго вытащишь изъ его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или дѣвушка носятъ по одной рубахѣ круглый годъ, ходятъ лѣтомъ въ рубахахъ, зимой надѣваютъ полушубокъ изъ овечьей, телячьей и собачьей шкуръ; мужчины надѣваютъ на голову такія же шапки, а лапти носятъ всѣ, кромѣ дѣтей, которыя едва-едва прикрываютъ тѣло чѣмъ-нибудь. Это еще ничего, но самое главное—пища мучитъ всѣхъ. Настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ; остальное время всѣ ѣдятъ мякину съ корой, и отъ этого у нихъ является лѣнь къ работѣ, болѣзнь, и часто всѣ подлиповцы лежатъ больные, сами не зная, что съ ними дѣлается, а только ругаются и плачутъ. Надо замѣтить, что и въ Чердыни хлѣбъ слишкомъ дорогъ, потому что его привозятъ туда только зимой изъ другихъ городовъ или доставляютъ на судахъ бичевники лѣтомъ изъ Вятской губерніи — изъ Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли къ такой жизни, свыклись и съ своими болѣзнями. Они знаютъ, что помочь имъ некому; даже самые люди противъ нихъ. Всѣ они, жители своей деревни, родня другъ другу—отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у нихъ много и въ другихъ деревняхъ, но тѣ не любятъ ихъ, не знаются съ ними, потому что и сами-то они голые, и отъ подлиповцевъ нечего взять. Съ своей стороны и подлиповцы не любятъ ихъ и не ходятъ къ нимъ. Подлиповцевъ не любятъ жители другихъ деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской вѣры держатся, слывутъ за лѣнивыхъ, самыхъ бѣдныхъ, и ихъ называютъ колдунами: захочетъ подлиповецъ посадить килу (грыжу)—посадитъ, захочетъ, чтобы такой-то умеръ,—умретъ.

Зачѣмъ же подлиповцы живутъ тутъ? — спроситъ читатель. — Подлиповцамъ не растолкуешь этого, они сами не знаютъ, откуда они взялись. Извѣстно только нѣкоторымъ изъ другихъ деревень крестьянамъ, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился одинъ крестьянинъ звѣроловъ изъ какой-то сосѣдней деревни. Ему хотѣлось жить одному съ своимъ семействомъ, такъ какъ онъ перессорился съ своими однодеревенцами. Онъ построилъ домъ и жилъ съ женой и дѣтьми нѣсколько лѣтъ, не сообщаясь съ прочими крестьянами. Послѣ его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замужъ въ другую деревню. Такимъ образомъ люди расплодились до тридцати человѣкъ и живутъ теперь въ шести домахъ. Сначала они находились подъ управленіемъ старшихъ лицъ въ семействѣ, и къ нимъ не заглядывало никакое начальство. Понятія ихъ были такія: есть какой-то богъ, а какой и сами не знали, и только по преданіямъ своихъ отцовъ справляли свои праздники, молились чучеламъ. О существованіи земли они знали только то, что земля даетъ пищу, да въ землю покойниковъ зарываютъ. Увидятъ они, что солнце ярко свѣтитъ, и думаютъ: это богъ, молятся ему; свѣтитъ ли ночью луна—тоже богъ; и дождь, и снѣгъ, и молнія—все богъ. Знали они, что есть городъ Чердынь, только потому, что бывали тамъ, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь—дѣло темное. Въ городѣ они видѣли разныхъ людей, но никакъ не могли понять, что это за люди; этихъ людей они боялись, не вѣрили имъ, и только ѣздили туда затѣмъ, чтобы сбыть необходимое для обмѣна на пищу. Но вотъ начальство заглянуло къ нимъ; деревню ихъ назвали Подлипною, обложили всѣхъ ихъ податью, стали брать по одному въ рекрута, пріѣхалъ къ нимъ священникъ и сталъ уговаривать принять православную вѣру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотѣли разбѣжаться, но струсили: пріѣхалъ становой приставъ, обласкалъ всѣхъ; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что отъ нихъ требовали. Сколько священникъ ни толковалъ имъ о Богѣ, они ничего не могли понять; хотя имѣли образа, но прятали ихъ подъ лавки и вынимали, когда являлся священникъ; окрестившись, они изъ боязни стали отдавать крестить дѣтей; вѣнчались сначала по-своему, потомъ ѣхали въ село къ попу, везли къ нему покойниковъ... Ничего бы этого они не дѣлали, да священникъ становымъ ихъ пугалъ, а подлиповцы помнятъ станового, какъ онъ, когда въ Подлипной умерло съ голоду шесть человѣкъ, обласкалъ не только мужчинъ, но и женщинъ, самъ не зная за что; а отрывши въ лѣсу мертвое тѣло, увезъ трехъ главныхъ стариковъ въ село, потомъ въ городъ, и съ тѣхъ поръ подлиповцы не видали своихъ стариковъ.

При своей бѣдности подлиповцы постоянно въ долгу: съ нихъ требуютъ подати, но имъ негдѣ взять денегъ, и на нихъ растутъ недоимки съ каждымъ годомъ.

Неужели они не умѣютъ работать? Подлиповецъ, родившійся въ Подлипной, проживший въ своей деревнѣ дѣтство и имѣя взрослыхъ дѣтей, умѣетъ дѣлать то, чему научили его отецъ и родня: онъ умѣетъ домъ построить; но заставьте его, читатель, построить домъ въ городѣ, онъ вамъ построитъ такъ, что вы и посмѣетесь надъ нимъ, и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповецъ строилъ для себя домъ по своему умѣнію, собственно съ той цѣлью, чтобы ему была защита отъ холода, дождя. Понятно, ему никакихъ

удобствъ не надо. А вы любите, чтобы домъ вашъ былъ теплый и существовалъ долго, чего подлиповецъ не съумѣетъ сдѣлать. Заставьте вы подлиповца печь скласть, онъ вамъ складетъ по-своему. У себя дома онъ сложитъ печь, какъ ему отецъ передалъ;— «эй, ты, цуцело, подь тамока... Гдѣ каменья увидишь—волоки». Сынъ притащилъ каменья. Достали изъ ручейка воды, вскипятили, разварили съ глиной... «Мастюжь!»—кричитъ отецъ и самъ работаетъ.—Черезъ двѣ недѣли печь готова, а черезъ годъ она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этимъ людямъ, какъ слѣдуетъ, по-человѣчески, что̀ нужно дѣлать, они примутся и сдѣлаютъ еще крѣпче городского мастера. Въ этомъ я ручаюсь. Есть въ Перми одинъ печникъ; онъ кладетъ печки дешево; но если склалъ, такъ печь и тепла всегда, и угара нѣтъ, и крѣпка. Его призываетъ только бѣдный классъ, но богачи, само собой разумѣется, надѣются на архитектора и поправляютъ печки черезъ пять лѣтъ, а нѣкоторые и раньше. Господинъ этотъ изъ Подлипной, только подлиповцы думаютъ, что онъ безъ вѣсти пропалъ или его медвѣди заѣли. Онъ былъ работникомъ у одного печника шесть лѣтъ, теперь семнадцатый годъ работаетъ самъ, безъ работниковъ, и имѣетъ въ Мотовилихинскомъ заводѣ свой домъ.

Подлиповцевъ нельзя винить ни въ чемъ: они глупы, необразованы, но кто ихъ вразумитъ, куда они пойдутъ?.. «Ужъ помру тожно, а тамока гдѣ ужъ!» Подъ этими словами можно понимать, что подлиповцамъ нравится своя деревня; а дальше, кто знаетъ, что̀ такое творится.—«Уйти изъ Подлипной? куда пойдешь?—Вонъ ушелъ изъ Подлипной Митюкъ Ковычка, еще молодой, и жену съ двумя дѣтьми оставилъ, да такъ и пропалъ. Поди тамока, и тютю!.. Пошелъ Терешка Вятка куда-то лѣсъ сплавлять и утонулъ, сказываютъ. Мишка Гайва ушелъ въ городъ какой-то, да такъ и пропалъ»... Все это напугало подлиповцевъ до того, что они и замкнулись въ своей деревнѣ и живутъ по-своему, какъ живется: вѣдь растетъ же дерево, живутъ же лошади и коровы .. Знаютъ подлиповцы, что безъ жены неловко, надо бабу—и живутъ съ бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знаютъ, у нихъ своя любовь: играли вмѣстѣ, вмѣстѣ росли, вмѣстѣ и жить надо. Такъ и дѣлается въ Подлипной. Умретъ тотъ или другой, они хотя и думаютъ, что такъ и надо умереть, но имъ обидно, досадно, что умеръ такой-то, что опять надо къ попу ѣхать вѣнчаться. О любви подлиповцевъ я разскажу въ слѣдующей главѣ. Досадно имъ: зачѣмъ это дѣти родятся отъ нихъ, и съ маленькими дѣтьми обращаются, какъ люди съ котятами; однѣ только матери немножко присматриваютъ за дѣтьми. Съ пятилѣтняго возраста дѣти растутъ на произволъ судьбы...

Подлиповцы говорятъ по-пермякски. Плохо понимая наши слова, они хотя и выговариваютъ ихъ, но въ исковерканномъ видѣ. Выговоръ ихъ походитъ на выговоръ крестьянъ Вятской и Вологодской губерній.

Ноябрь мѣсяцъ въ началѣ. Зима свирѣпствуетъ немилосердно, какъ будто все зло свое хочетъ выместить надъ Подлипной и ея обитателями. Утро. Холодъ въ тридцать градусовъ; вѣтеръ свиститъ по полю; деревья скрипятъ; верхушки ихъ то и дѣло съ шумомъ пошатываетъ направо и налѣво, и впрямь, и вкось. Вѣтеръ рыщетъ по полю и гонитъ снѣгъ, какъ на зло, къ самымъ домамъ, до половины уже занесеннымъ снѣгомъ. Дороги вовсе не видать—она сравнялась съ полемъ. Больше всего достается крайнему домику, безъ крыши, съ однимъ окномъ, со слюдой въ рамахъ, до половины заваленному снѣгомъ. Вѣтеръ такъ и рветъ съ домика, что̀ ему подъ силу: вонъ доску, высунувшуюся съ потолка, оторвало; вонъ посыпались высунувшіеся изъ-подъ снѣга каменья, составляющіе трубу; вонъ четверть крыши со стайки оторвало, вонъ и слюда треснула въ одной рамѣ — пошелъ вѣтеръ гулять по избѣ... Ни одного человѣка не видно; не видно и животныхъ, даже собака куда-то спряталась... Но вотъ вышелъ изъ одного дома крестьянинъ, въ полушубкѣ изъ овечьей и телячьей шкуръ, въ шапкѣ изъ такой же шерсти съ длинными ушами, въ огромнѣйшихъ собачьихъ рукавицахъ, въ синихъ нанковыхъ штанахъ и въ лаптяхъ. Онъ уже не молодъ: ему годовъ сорокъ.

— Эко диво!—сказалъ онъ, сторонясь отъ вѣтра. Вѣтеръ и стужа его злили.—Какъ пойдешь? Гли, што діется...—Онъ началъ шагать и тонулъ въ снѣгу.—Экъ испугались! Врешь!!.. Ишь ты, цуцело, околить бы тѣ!..—Онъ плюнулъ.—Да будь ты проклятъ, чортъ!..—Крестьянинъ дошелъ до крайней избушки и вошелъ въ нее. Въ избѣ холодъ страшный, вѣтеръ такъ и дуетъ въ окно сквозь раму; противъ окна снѣгъ на полу, на столѣ и на лавкѣ. Изба очень бѣдна; кромѣ стѣнъ, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющагося среди пола, и небольшого корыта съ корой и двумя большими ложками, въ ней ничего не видно... Только на полатяхъ да на печкѣ кто-то стонетъ.

— Эй, вы, цуцелы! Померли али нѣтъ?..

Съ полатей раздался стонъ.

— Ошшо живы!—сказалъ онъ весело.

— Пила, подь сюда!..—сказалъ съ полатей мужской голосъ.

Вошедшій, бросивъ на полъ рукавицы, неторопясь полѣзъ на печь. На печкѣ лежала старуха.

— Скоро помрешь?—спросилъ онъ ее съ участіемъ.

Старуха стонала. На полатяхъ лежалъ Сысой Степанычъ Сысоевъ, прозванный по-подлиповски Сысойкомъ. Ему 20-й годъ, но онъ худъ и блѣденъ. Онъ лежалъ въ полушубкѣ, въ шапкѣ, въ лаптяхъ и дрожалъ.

— Печку бы... пали, братанъ... А? Ишь стужа, витеръ!—говорилъ Сысойко.

— Ну ужъ и времена! . На̀ картошки!—сказалъ Пила и подалъ Сысойкѣ четыре печеныхъ картофелины.

— Я тожно-бѣда. Нутро...—Сысойко хотѣлъ объяснить свою болѣзнь и разжалобить Пилу, но не умѣлъ. Вдругъ онъ спросилъ Пилу:— А Апроська?

— Апроська помиратъ.

— А можетъ представляется?.. Не помретъ?

— Кто ее знаетъ. А канючитъ больно: «подь, баетъ, къ Сысойку, снеси картошки, да пусть, баетъ, придетъ молочка потрескать».

— Охъ, не говори,—не могу,—моченьки нѣтъ... —стонетъ Сысойко.

Пила молчалъ. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слѣпая и сумасшедшая.

— Истопить ужъ печь-ту! А гдѣ ребята-те?— Пила слѣзъ съ печки.

— Въ печкѣ,—сказалъ Сысойко.

Пила подошелъ къ окну, сталъ сгребать рукой снѣгъ съ полу; постоялъ у окна,—вѣтеръ дуетъ: надо бы заткнуть, а чѣмъ? ничего нѣтъ такого. Онъ взялъ съ полу лапоть, приладилъ его въ раму, а вѣтеръ все дуетъ.

— Нѣтъ ли чего затыкать-то?

— Нѣту, братанко,—сказалъ Сысойко.

— Да хоть рукавицъ, што ли, дай!

— Жалко!..

— Чортъ!.. успѣешь околѣть то... Боровъ! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросилъ съ полатей рукавицы и шапку. Пила затыкалъ ими раму; вѣтеръ пересталъ дуть, зато въ избѣ темно сдѣлалось.

Пила пошелъ на улицу; вѣтеръ все дулъ. Пила отскребъ немного снѣгу отъ окна рукавицами и пошелъ искать дровъ около стайки, въ которой лежала лошадь, не ѣвшая ничего два дня. Пила долго удивлялся вѣтру: «Экой какой, сила какая!.. Эвонъ что разворочалъ». Онъ досталъ съ потолка стайки сѣна и соломы, снесъ ихъ лошади.

— Ужо я овсеца тебѣ принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорилъ Пила, смотря на лошадь, какъ она принялась охобачивать сѣно и солому.

Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по-подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работящій. Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понялъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался пріискать себѣ работу, сбыть ее, а главное,— услужить своимъ подлиповцамъ. Назадъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ; хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рѣкѣ, самъ простудился и, пролежавъ два мѣсяца, обѣднѣлъ до того, что ему съ семействомъ привелось ѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было ѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила насобиралъ у подлиповцевъ надѣланныхъ кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ: онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ сбирать ради Христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: «чево сидите, робь; я буду робить»—и подлиповцы работаютъ съ Пилой; нѣтъ Пилы,—подлиповцы лежатъ. Скажетъ подлиповцамъ: «смотри, траву надо косить»— здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо траву косить, подлиповцы не догадаются. Всѣ подлиповцы любили Пилу и каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ полечить, такъ какъ Пила лечилъ больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толку въ травахъ. Мысль лечить травами пришла ему въ голову тогда, какъ онъ увидалъ въ городѣ крестьянина съ травами. Пила не понималъ, для чего крестьянинъ травы продаетъ.—«Это што?» спросилъ Пила крестьянина.—«Это лекарствіе».— Слово «лекарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское.—«А какъ это дѣлаютъ?» спросилъ онъ крестьянина.—«Да такъ. Коли кто захвораетъ, ну, и пьетъ траву, коя идетъ на такую болѣсть. Тутъ всякія есть: затрясетъ тебя, лихоманка забьетъ, брюхо заболитъ, ну, и лечатся такой травой». — «Лиже ты! А гдѣ онѣ растутъ?»—«Въ лѣсу да въ болотахъ»... Вотъ Пила и сталъ собирать лѣтомъ въ лѣсу да въ болотѣ разныя травы съ цвѣточками, вырывалъ съ кореньями и лечилъ подлиповцевъ.—«Ну-ка съѣшь эту травку, хворать не станешь», говорилъ Пила больному. Больной ѣлъ, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки всѣ просили у Пилы травы. Пила давалъ, не требуя за это ничего. Священникъ требовалъ, чтобы крестьяне непремѣнно крестили дѣтей, везли въ село умершихъ, вѣнчались; первое подлиповцы не исполняли до тѣхъ поръ, пока священникъ не пріѣзжалъ самъ за сборомъ; за умершихъ они боялись и везли всѣ покойника въ село; свадьбы вѣнчались рѣдко; подлиповцы жили до тѣхъ поръ, пока опять не пріѣдетъ священникъ за сборомъ; а какъ пріѣхалъ — бѣда: «возитъ съ собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай считать да пугать—бѣда!» говорятъ подлиповцы и ѣдутъ вѣнчаться въ село, но только съ Пилой. Причтъ проситъ денегъ либо масла за свадьбу, и Пила пойдетъ сбирать ради Христа, жениху и невѣстѣ велитъ тоже сдѣлать, и, насобиравъ чего-нибудь, идутъ къ причту. Всѣ подлиповцы удивлялись Пилѣ: какъ это онъ всегда успѣваетъ, все умѣетъ сдѣлать, всегда веселъ и рѣдко хвораетъ, даже и съ семьей его ничего не дѣлается. Поэтому его прозвали колдуномъ и боялись. Пила никогда не былъ колдуномъ, но слово это его забавляло.

Пила ужъ третью недѣлю не выѣзжалъ изъ деревни. Всѣ подлиповцы сдѣлались больны отъ мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроськэ, тоже захворала, жена его, Матрена, и парень Иванъ третьи сутки не встаютъ. Пила не знаетъ, что и дѣлать, кому и какъ помочь,—травы его не дѣйствуютъ; надо бы купить муки, да уѣхать Пила боится: какъ да всѣ безъ него помрутъ? Наконецъ и у Пилы не стало муки, и онъ принялся мѣшать въ мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть, да корова даетъ немного молока: для себя достаетъ, а если другимъ удѣлишь—у самого ничего не будетъ.—«Экая бѣда»,

думаетъ Пила. «Что теперь дѣлать — не знаю. Уѣдь я—всѣ помрутъ, и Апроська, и Сысойко»...

Жена Пилы, Матрена, была такая же, какъ и прочія подлиповскія женщины, часто хворающая, но нѣсколько крѣпче прочихъ: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кромѣ того что она доила корову. Она спала и во всемъ надѣялась на мужа. Пила на нее смотрѣлъ, какъ на какую-то потребность; часто возилъ онъ ее съ собой въ лѣсъ и въ городъ, пріучалъ къ какой-нибудь работѣ, но Матрена ничего не хотѣла дѣлать, за что Пила билъ ее во время своей злости, какъ лошадь, чѣмъ попало.

Всѣ дѣти ихъ, Апроська 19 лѣтъ, Иванъ 16, Павелъ 14 и Тюнька 3 лѣтъ, росли на произволъ судьбы. Апроська была некрасивая дѣвушка, худая, часто хворающая, ничего не дѣлающая, какъ и мать. Отецъ билъ ее, Ивана и Павла, какъ и свою жену, за то, что̀ ему не нравилось; но Апроську Пила любилъ какъ будто даже болѣе, нежели дочь.

У Апроськи на 17 году былъ ребенокъ, но ребенокъ этотъ не дожилъ до пріѣзда священника, и когда онъ умеръ, его зарыли въ лѣсу. Теперь отецъ зналъ, что Апроська опять скоро родитъ, и зналъ, что ребенокъ будетъ отъ Сысойки...

На Ивана и Павла Пила смотрѣлъ какъ на работниковъ, не позволялъ имъ сидѣть даромъ, не вѣрилъ ихъ болѣзнямъ. «Какая хворость вамъ, экимъ парнямъ? Я вонъ прежде не хварывалъ», говорилъ Пила, когда парни лежали. Жалость къ дѣтямъ у Пилы была только тогда, когда они уже ревѣли отъ боли. Пилѣ казалось непріятно это, жалко было ребятъ, потому что онъ бы могъ замѣниться ими, и въ то время онъ кормилъ ихъ больше, насильно заставлялъ ѣсть травы. Павелъ и Иванъ были забитые парни, умѣли нарубить дровъ, знали дорогу въ село, но въ городѣ никогда не бывали. Братъ съ братомъ жили такъ дружно, что никогда не разставались, работали вмѣстѣ и старались отличиться другъ передъ другомъ. Начнетъ Иванъ плести лапоть, Павелъ тоже плететъ лапоть и дразнитъ брата: «ужъ тебѣ гдѣ смастюжить! то ли я! Смотри, какъ!» — «Эй, Пашка, не дразни! Ты смотри, какъ я дѣлаю». Часто Пила посылалъ парней понавѣдаться къ какому-нибудь подлиповцу; братья ходили вмѣстѣ и проводили весь день въ гостяхъ. Если кто-нибудь работалъ, братья высматривали работу и дома старались сдѣлать такъ же; если работы были обыкновенныя у всѣхъ, они дѣлали тутъ же, передразнивая и смѣясь надъ дѣвками и мужиками. Съ молодыми дѣвками они обращались запросто, какъ съ своей сестрой: передразнивали, щипали ихъ за бока, ругали. Это была ихъ любовь. Пила поговаривалъ женить Ивана и сговорилъ ему одну дѣвку, Агашку. Иванъ сталъ ходить къ отцу Агашки по наученію Пилы, которое заключалось въ слѣдующихъ словахъ: «дубина ты, какъ я погляжу, не знаешь, што баско... Пора тебѣ съ бабой жить»...

— А пошто?

— Дурень ты! говорятъ, будетъ баско.—Ивану казалось смѣшно, онъ чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходилъ къ Агашкѣ. Эта любовь продолжалась полгода. Павелъ, узнавъ отъ брата, что съ дѣвкой жить хорошо, тоже нашелъ себѣ дѣвку.

Сысойко живетъ рядомъ съ Пилой, и дома ихъ не отдѣлены другъ отъ друга даже плетнемъ. Сысойко былъ самый бѣдный въ деревнѣ и рѣдко бывалъ здоровымъ. Отецъ его ходилъ на медвѣдей съ чугуннымъ ломомъ и бралъ его съ собой. Но медвѣдей было мало, такъ что въ годъ они убивали много медвѣдя три. Мясо медвѣжье они ѣли, а шкуру продавали въ село за дешевую цѣну. Тогда при отцѣ можно было жить, но вотъ уже два года, какъ отца загрызъ медвѣдь, а Сысойко, бывшій съ отцомъ, хотя и убилъ этого медвѣдя, но медвѣдь исцарапалъ ему плечо. Сысойко едва-едва дошелъ до своей деревни, сказалъ о бѣдѣ Пилѣ и вмѣстѣ съ нимъ повезъ отца въ село, захвативши съ собой и убитаго медвѣдя. Священникъ не сталъ хоронить отца Сысойки, а почему-то призвалъ становаго пристава. Становой привязался къ Сысойкѣ и Пилѣ, говоря, что не медвѣдь загрызъ отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медвѣдя. Становому хотѣлось взять себѣ убитаго медвѣдя, и онъ взялъ-таки его и попросилъ священника отпѣть покойника... Съ той поры Сысойко живетъ очень бѣдно: въ лѣсъ бить медвѣдей не ходитъ, стрѣлять дичь пороху нѣтъ, продавать кадки и прочее не стòитъ, да и Сысойко умѣлъ только лапти плести. И вотъ Сысойко помогалъ въ чемъ-нибудь Пилѣ, то есть вмѣстѣ съ нимъ искалъ лекарственную траву, ѣздилъ по нуждѣ въ село и въ городъ, за что̀ и пользовался отъ Пилы подачками хлѣбомъ и мясомъ; но такъ какъ онъ часто хворалъ, то и не могъ всегда бывать съ Пилой, и Пила навѣщалъ его. Пила и Сысойко такъ привыкли другъ къ другу, что по цѣлымъ днямъ проводили вмѣстѣ, ничего не дѣлая, а лежа; если Пила хворалъ, а Сысойко былъ здоровъ, Сысойкѣ казалось, что и онъ хвораетъ, и наоборотъ. Пила и Сысойко въ болѣзняхъ всячески старались угодить другъ другу, а если Сысойко былъ здоровъ, то цѣлую недѣлю жилъ у Пилы и спалъ на полатяхъ съ Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вмѣстѣ, но тогда у нихъ были только дѣтскія отношенія; такія же отношенія были и тогда, когда Сысойкѣ было 18 лѣтъ, а Апроськѣ 16, но скоро они уже измѣнились. Съ перваго же времени молодые люди привязались другъ къ другу—обоимъ имъ было скучно, когда они не видѣли другъ друга по недѣлямъ, а потому часто навѣдывались другъ объ дружкѣ у Пилы и сходились—или Сысойко въ домѣ Пилы, или Апроська въ домѣ Сысойки.

Сысойкѣ страшно опротивѣла жизнь въ своемъ дому: каждый день и даже ночь ревѣли его маленькіе братъ Петръ 4-хъ и сестра Пашка 2-хъ лѣтъ, которые мерзли съ холоду и постоянно голодали. Эти маленькія дѣти, не умѣющія еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидѣли полунагія, одѣтыя въ нѣсколько тряпокъ, сшитыхъ на подобіе мѣшковъ. На нихъ не обращалось вниманія ни Сысойкомъ, ни матерью, которая больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печкѣ и охала.

Куда Сысойко ни посадитъ дѣтей, тамъ они сидятъ, тамъ и ползаютъ. А если Сысойко садилъ ихъ на полати, что случалось очень рѣдко, то ребята то и дѣло получали колотушки... Онъ даже нарочно садилъ ихъ на голый полъ для того, чтобы они скорѣе умерли, нарочно не давалъ ѣсть, думая, что они помрутъ; но ребята кричали съ каждымъ днемъ хуже,—Сысойко злился, хотѣлъ ихъ пришибить чѣмъ-нибудь, но ему было жалко, онъ чего-то боялся... Пила жалѣлъ дѣтей и всегда приносилъ имъ что-нибудь; при появленіи Пилы дѣти начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывалъ здоровъ, по недѣлѣ не заглядывалъ въ свою избу, а терся у Пилы или гдѣ-нибудь съ Пилой; объ сестрѣ и братѣ и наконецъ о своей матери онъ не думалъ въ это время; онъ радъ былъ, что наконецъ-то нѣтъ ихъ, не слышатся крики, не ворчитъ и не охаетъ старуха.

Хотѣлось Сысойкѣ жить у Пилы; да Пила говорилъ: «нѣтъ, батъ, изба моя махонькая, куды же я тебя пущу съ ребятами и матерью?»

— Да я одинъ...—напрашивался Сысойко.

— Ужъ не говори. Тѣ ребята-то все же братъ да сестра... Ну, да хоть помрутъ, не жалко, а мать-то? Она, батъ, родила тебя. А ты лучше живи тамъ, да сюда ходи,—замѣтила Матрена.

Сысойкѣ еще хотѣлось жить одному съ Апроськой да съ Пилой. «Съ Апроськой баско, Пила хлѣбъ носитъ»,—думалъ Сысойко. Но гдѣ жить? Въ своемъ домѣ нельзя—мать и ребята; Пила не пускалъ, да у него жена и дѣти. Долго Сысойко ломалъ голову на этотъ счетъ, да ничего не выдумалъ. Пила тоже думалъ: какъ бы устроить, чтобы Сысойкѣ было лучше. Хоть и жаль Апроськи, и надо же ей жить съ Сысойкомъ, потому что попъ такъ *велитъ* *), да и отъ Апроськи будутъ дѣти рождаться: но гдѣ жить? Жить въ его домѣ нельзя, потому что у него свое семейство; парни, того и гляди, приведутъ въ домъ по дѣвкѣ, а какъ попъ велитъ имъ жениться, то и самому тѣсно будетъ. Отдать Апроську Сысойкѣ, чтобы она жила въ Сысойковомъ домѣ,—тамъ мать сумасшедшая, ребята ревутъ маленькіе... Но до того, чтобы выстроить Сысойкѣ избушку, Пила не додумался. Онъ на томъ и рѣшилъ: уже пусть живутъ такъ, какъ теперь; а какъ помретъ старуха Сысойкова, да маленькіе ребята, тогда и можно Апроську Сысойкѣ отдать. А попъ пріѣдетъ, ну, и вѣнчать можно. И ребята пойдутъ отъ Апроськи. Все же лучше, опять къ попу можно съѣздить. «Только тѣ не помираютъ. Ужъ померли бы скорѣе, пользы-то отъ нихъ нѣтъ,—только мука одна»,—думалъ про себя Пила и сообщалъ объ этомъ Апроськѣ и Сысойкѣ, которые съ своей стороны тоже соглашались въ этомъ мнѣніи съ Пилой, и стали ждать да ждать, чтобы тѣ умерли.

Пила принесъ въ избу Сысойки охапку дровъ. Бросивъ ихъ на полъ около печи, онъ заглянулъ въ печку. Тамъ лежали мальчикъ и дѣвочка нагіе.

*) То есть велитъ вѣнчаться.

Эй вы, лѣшіе! Вылѣзайте!.. спалю тожно!..—кричалъ Пила.

Изъ печки не слышно было ни голоса, ни движенія. Пила потащилъ изъ печки за ногу мальчика. Мальчикъ былъ мертвый.

— Ишь ты!—сказалъ Пила и сталъ щупать мальчика.—Померъ.

— Кто?—спросилъ Сысойко.

— Парень.

— Ну, и ладно... А дѣвка-то?—спросилъ Сысойко и высунулъ голову съ полатей.

Пила вытащилъ за ногу и дѣвочку. Она была мертвая. Лѣвый високъ ея былъ чѣмъ-то проломленъ; лица ея незамѣтно было: все оно запеклось отъ крови, и на немъ засохъ мусоръ отъ печки.

— Сысойко? гли (смотри)!

Сысойко плохо видѣлъ съ полатей.

— А што, померла?

Слѣпъ ты, што ли! Гляди, убита!

— Вре?!

Пила положилъ мальчика и дѣвочку на лавку и долго смотрѣлъ на нихъ жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убилъ дѣвку-то?

— А пошто?

— Право ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медвѣдь, што ли, экъ ты!—Сысойко не сталъ и говорить больше, а спряталъ голову въ полушубокъ.

Пила нащепалъ березовой лучины, досталъ на трутъ кремнемъ огня, зажегъ лучину и сталъ смотрѣть въ печку. Въ ней лежалъ большой камень, отвалившійся съ неба печки. Теперь Пила понялъ, что не Сысойко убилъ дѣвку, а этотъ камень самъ отвалился. Только какъ же на парня камень не упалъ, а на одну дѣвку?..

— Смотри-кась, экой камень-то!—сказалъ Пила Сысойкѣ, показывая ему камень.

Сысойко посмотрѣлъ и разинулъ ротъ отъ удивленія, но ничего не сказалъ.

Пила склалъ въ печку дрова, зажегъ. Въ избѣ сдѣлалось свѣтлѣе.

Пила опять подошелъ къ ребятамъ. Жалко ему стало ребятъ. «Эхъ голова-то какъ раскроена... Мальчонки, мальчонки! Жить бы вамъ долго, да што жить-то? Лучше, какъ померли. Вотъ, Сысойко, и померли ребята»!...

— Померли. Теперь я къ тебѣ пойду.

— А мать?

— Помретъ.

Въ это время простонала на печкѣ старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила, ни Сысойко не обратили вниманія.

Пила сталъ разсуждать, что дѣлать съ ребятами. Зарыть ихъ такъ — попъ узнаетъ, и тогда — бѣда; ѣхать къ попу — будетъ денегъ просить... Пилѣ хотѣлось ѣхать въ село; у него не было хлѣба, и онъ ждалъ только удобнаго случая ѣхать туда. Случай этотъ выпалъ—везти хоронить дѣтей.

— Ну, пошто ребятъ туда везти? Зарыть бы здѣсь въ лѣсу, такъ нѣтъ ишшо, деньги давай,—сердился Пила.

— Ты не вози,—сказалъ Сысойко.

— Ишь ты! Какъ наѣдетъ — лучше будетъ? Нѣтъ ужъ, свезу.

Въ избу прибѣжалъ Павелъ.

— Апроська зоветъ! ись, баетъ, хочу.

— А ты што? Нѣту, што ли, картошки-то?

— Молока проситъ.

— Поди, подой корову-то.

— Я доилъ, да нѣту молока-то.

Пила ушелъ въ свой дворъ. Сталъ доить корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочетъ,—сказалъ про себя Пила.

Пила ушелъ въ свою избу. Въ его избѣ было немного чище и свѣтлѣе. Отсутствіе одежды и другихъ вещей здѣсь было такое же, какъ и у Сысойки. На печкѣ лежала Апроська, некрасивая, худая дѣвушка. На полатяхъ сидѣла Матрена, Иванъ и Тюнька. Всѣ они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушелъ и утонулъ; дома хоть помирай...— ворчала Матрена.

— Чево помирай! Вонъ ребята Сысойкины померли... Сысойко, гляди, помретъ, а старуха ужъ поди теперь померла.

— А Сысойко? хворатъ?—спросила Апроська.

— Сказано, помиратъ.

— А молока принесъ?

— Гдѣ возьму? Вонъ корова-то родить тожно хочетъ, нѣту молока-то.

Матрена заворчала.—Ужъ у тебя все такъ. Когда я дою, всегда молоко есть... Ужъ излѣнился ты совсѣмъ.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепаю!

Пила ушелъ изъ избы разсерженный. Онъ вошелъ въ третью избу, къ сосѣду Морошкѣ. Морошка былъ нездоровъ, нездоровы и дѣти. Жена его плела лапти.

— Нѣтъ ли продать чего?—спросилъ Пила жену Морошки.

— А ты въ городъ?

— Въ городъ. Вонъ у Сысойки ребята померли; надо къ попу везти.

— Ладно. Вонъ тамо лапти складены, возьми.

Пила взялъ двѣ пары лаптей и пошелъ домой.

— Нѣтъ ли у те травки?—просила жена Морошки.

— Какъ нѣту!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю. А Агашка какъ?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вонъ съ Пашкой ничего не дѣлается.

Иванъ былъ женихъ Агашки.

На другой день Пила сдѣлалъ ящикъ въ видѣ гроба, положилъ въ него два маленькіе трупа, завернутые въ мѣшки, заколотилъ ящикъ досками и повезъ на дровняхъ въ село вмѣстѣ съ двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками отъ Морошки.

Въ село Пила пріѣхалъ ночью. Переночевавъ у знакомаго крестьянина, онъ утромъ отправился къ священнику. Извѣстно, что въ сельскихъ церквахъ служатъ только по воскресеньямъ и въ большіе праздники. Такъ и теперь церковь была заперта, и къ ней не было даже дороги проложено, т. е. незамѣтно было слѣдовъ человѣческихъ съ дороги. Священникъ долго не соглашался хоронить дѣтей. Пила нѣсколько разъ ѣздилъ къ нему, и вотъ уже въ пятый разъ пріѣхалъ къ нему. Священника это просто до слезъ проняло.

Онъ сталъ надѣвать худенькую съ заплатами рясу.

— Вотъ что, Пила: ты въ пятый разъ ко мнѣ пріѣхалъ, а ничего не привезъ. Смотри, у меня на ногахъ-то лапти!

Священникъ былъ въ лаптяхъ. Пила въ этомъ не видѣлъ ничего удивительнаго; ему смѣшно показалось.

— Тебѣ смѣшно, а мнѣ плакать хочется. Вотъ ужъ шестой годъ живу здѣсь, а ничего не пріобрѣлъ. Просилъ, чтобы перевели, да выговоръ получилъ.

Пила плохо понялъ.

— Такъ мнѣ надоѣло жить съ вами! Уѣду я таки отъ васъ.

— А ты уѣдь, право!—сказалъ Пила.

— И уѣду.

— А ты теперь уѣдь.

— Не пускаютъ. Да и что толку въ томъ, что я уѣду! Пошлютъ другого на мое мѣсто, и тогда вамъ хуже будетъ.

— Ишь ты. А ты не поѣдешь?

— Не пускаютъ.

Священникъ кликнулъ дьячка и послалъ его съ Пилой въ церковь.

— Ну-ко, Пила, открой гробъ!

— А пошто?

— Такъ нельзя.

— Да ты ужъ совсѣмъ зарой, а то земля то въ глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебѣ говорятъ, нельзя такъ... Кто тебя знаетъ, что̀ ты привезъ тутъ.

Пилѣ обидно стало.—Цуцело ты, какъ я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, станового призову?

Пила струсилъ и открылъ топоромъ одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячокъ раскрылъ одинъ мѣшокъ. Мальчикъ лежалъ лицомъ кверху, дьячокъ осмотрѣлъ его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрылъ другой мѣшокъ. Дѣвочка лежала на животѣ. Сталъ и дѣвочку осматривать дьячокъ и, какъ взглянулъ на лицо, съ ужасомъ отступилъ.

— А, такъ ты такъ-то хочешь насъ провести! Что это такое?

Пила испугался.—Батшко, не я!..

— Врешь! Кайся, разбойникъ!

— Ты не кричи—экъ испугались! Медвѣдей бивалъ!

— Такъ ты еще запираешься? Сейчасъ станового призову.

Пила повалился въ ноги. — Батшко, не губи!.. Камнемъ дѣвку-то пришибло въ печкѣ! Што хошь возьми... не губи.

— Разсказывай, какъ было!

Пила разсказалъ все. Дьячокъ вѣрилъ и не вѣрилъ. Онъ сталъ еще смотрѣть на лицо дѣвочки:

кажется, и камнемъ изъ печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убилъ. Онъ затруднялся: повѣрить Пилѣ или нѣтъ?

— Не вѣрю я тебѣ; я пойду къ становому.

— Батшко, не губи! Я тѣ все сказалъ... Што я—звѣрь, што-ли?.. Сысойко хворатъ, старуха тоже... А эти въ печкѣ дрыхнули... Я такъ и увидѣлъ камень на лицѣ-то.

— Цѣлуй крестъ!

Пила поцѣловалъ.

— Клянись, что не ты убилъ.

— Эхъ ты! Я вонъ и Сысойка спрашивалъ, онъ заревѣлъ только, жалко стало... А ты говоришь: убилъ, убилъ!.. Эхъ ты!.. Я вонъ только восемь медвѣдевъ убилъ.

Дьячокъ опѣшилъ. Къ подобнымъ выходкамъ онъ уже привыкъ.

Пила опять повалился въ ноги.— Не погуби, батшко!

Черезъ два часа Пила везъ въ Подлипную на своей и поповской лошадяхъ, запряженныхъ въ поповскія сани, попа и дьячка.

Дорогой въ Подлипную Пила долго ругался. Священникъ съ дьячкомъ разсуждали, какъ поступить съ подлиповцами: никакіе страхи ихъ не берутъ и вѣровать-то они по-христіански не хотятъ...

Наконецъ пріѣхали въ Подлипную. Священникъ и дьячокъ вошли въ избу Пилы и влѣзли на полати, потому что въ избѣ было холодно, да къ тому же они хорошо прозябли. У дьячка былъ въ запасѣ буракъ съ водкой. Семейство Пилы осталось на печкѣ. Апроськѣ было немного легче, но она все лежала. Иванъ все хворалъ, Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай намъ закусить,—просилъ священникъ.

— Да что я тебѣ дамъ-то? Хлѣбушка нѣтъ, молока нѣтъ. Кору нынче ѣдимъ...

— Поди, посбирай въ деревнѣ.

— Гдѣ ужъ, тамъ ни у кого нѣтъ хлѣбушка. Вонъ Пила не привезъ-ли...—Пила, дѣйствительно, привезъ двѣ ковриги хлѣба и нѣсколько фунтовъ муки. Пила распрягалъ лошадей, ругая дьячка. Павла онъ послалъ къ подлиповцамъ: «Бѣги ко всѣмъ, скажи: попъ, молъ, наѣхалъ»... Павелъ ушелъ и сдѣлалъ такъ, какъ велѣлъ Пила. У подлиповцевъ до сей поры всѣ образа были гдѣ-то на полатяхъ; теперь Павелъ поставилъ ихъ на полки въ переднихъ углахъ.

Пила принесъ въ избу хлѣба, отрѣзалъ нѣсколько ломтей и роздалъ священнику, дьячку и своему семейству. Въ нѣсколько минутъ одной коврижки не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойку-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила! хошь водки?—кричалъ съ полатей дьячокъ, уже опьянѣвшій.

— Давай.

Пила хлебнулъ изъ бурака.

— Ну, пойдемъ къ подлиповцамъ, — сказалъ священникъ, слѣзая съ полатей. — А ты, дѣвка, все еще не замужемъ?—спросилъ онъ Апроську.

— Нѣтъ, батшко.

— То-то смотри. Найду ребятъ, бѣда тебѣ будетъ!

— Ужо тепло будетъ, повезу ее,— сказалъ Пила.

— Ты давно мнѣ говоришь. Съ кѣмъ ты ее хочешь свѣнчать?

— А съ Сысойкомъ.

— То-то. Ну, пойдемъ.

Пила повелъ священника и дьячка къ Сысойкѣ. Съ собой онъ захватилъ полковриги хлѣба. Сысойкѣ было легче, но онъ все еще лежалъ. Въ избѣ холодно и темно.

— Зажигай лучину!—командовалъ дьячекъ.

Лучину зажгли.

Священникъ сталъ смотрѣть въ передній уголъ: есть ли икона?

Икона была.

— Эй вы! Отчего никого нѣтъ?— кричалъ дьячокъ.

— Да больны они, больно больны,—сказалъ Пила. Сысойко спрятался въ уголъ на полатяхъ и молчалъ. Мать его попрежнему стонала.

. . . . . .

Переночевавъ у Пилы, священникъ и дьячокъ поѣхали въ село. Пила ѣхалъ за ними на дровняхъ; за дровнями шла Пилина корова съ веревкой на шеѣ.

Какъ ни горько было Пилѣ вести корову въ село, но онъ изъ боязни, чтобы не погубилъ его становой, рѣшился-таки отдать ее. «Ужо, какъ помретъ Пантелей, возьму его корову себѣ. А не помретъ, изъ другой деревни уволоку», думалъ Пила.

Матрена, какъ Пила сталъ привязывать корову къ дровнямъ, полѣномъ ударила Пилу, дьячка обругала, какъ только могла, и можетъ быть убила бы Пилу за корову, да у нея силы не было: Пила и дьячокъ до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего въ своей жизни любила корову. Корова для нея была больше, нежели дѣти: дѣти ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молокомъ и лѣтомъ не просила ѣсть, а питалась въ лѣсу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сѣна каждое утро. А теперь какъ она будетъ жить безъ коровы?..

Пила пріѣхалъ въ село вечеромъ. Заплакалъ Пила, какъ заперли его корову въ чужую стайку. Хотѣлъ онъ увести корову ночью, да двери стайки были заперты. На другой день отпѣли умершихъ, а Пила съ церковнымъ сторожемъ едва-едва сдѣлали на кладбищѣ маленькую ямку и свалили туда гробъ, потомъ завалили яму землей и снѣгомъ. Послѣ этого Пила пошелъ къ дьячку просить денегъ. Дьячокъ сжалился надъ Пилой, далъ ему пятнадцать коп. сер. Пила былъ очень доволенъ этими деньгами и даже повалился въ ноги.

Выйдя изъ двора дьячковскаго, Пила долго стоялъ у своей лошади. Его сильно давило горе. Онъ

лишился коровы, которая кормила его. Какъ онъ теперь безъ коровы будетъ жить? Какъ семья его пробьется до лѣта? Не корова бы, что̀ бы было съ ними?.. Пилѣ все теперь опротивѣло, проклялъ онъ свою жизнь, долго билъ свою лошадь, самъ не зная за что; сѣлъ на дровни, стегнулъ лошадь, лошадь пошла по улицѣ. Пила не зналъ, куда ѣхать, и пустилъ лошадь на произволъ. Лошадь дошла до лѣсу. Дорога вела въ деревню. Пила не поѣхалъ въ деревню, а поѣхалъ въ городъ.

Въ городѣ Пила шатался двѣ недѣли. Жилъ онъ подаяньемъ добрыхъ людей. Придетъ въ домъ, попроситъ ради Христа, ему даютъ, кто ломтикъ хлѣба, кто грошикъ. Ломтей у Пилы накопилось много: деньги шли на водку. Хотѣлъ онъ купить на рынкѣ корову, да просили десять рублей. Видѣлъ онъ и дьячка своего сельскаго, тотъ сказалъ ему, что корову онъ подарилъ по начальству. Узнавши, гдѣ корова, Пила сряду двѣ ночи ходилъ къ воротамъ новаго ея хозяина, да все ворота заперты; перелѣзъ онъ и черезъ заплотъ, да и тамъ не нашелъ коровы, а зарубивъ топоромъ двухъ свиней и перебросивъ ихъ черезъ заборъ, увезъ въ лѣсъ и тамъ зарылъ въ снѣгу.

Пила собрался ѣхать, какъ увидѣлъ около питейной лавочки толпу мужиковъ: зырянъ, вотяковъ, пермяковъ и крестьянъ Вологодской и Архангельской губерній. Пилу любопытство взяло, и онъ спросилъ одного изъ толпы:

— Што, ребя?

— Ништо,—сказалъ одинъ крестьянинъ.

— Ты откедова?—спросилъ Пилу другой крестьянинъ.

— А подлиповечъ! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А пошто?

— Баютъ: баско, богачество, баютъ...

Пила задумался. Каждую зиму онъ видѣлъ около этого кабака толпу мужиковъ, каждую зиму онъ слышитъ, что они идутъ бурлачить, — богачество, баютъ, отъ бурлачества получаютъ. Прежде Пила не вѣрилъ мужикамъ, говорящимъ про богачество, и не спрашивалъ, что̀ такое бурлачество: теперь ему опротивѣла жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить?—спросилъ самъ себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська?.. Ну ихъ къ лѣшимъ и съ бурлачествомъ!».. Апроська показалась Пилѣ милѣе бурлачества... «Уйди тамъ, а куда?.. Ну, уйди—и тютю»... думалъ Пила. Однако онъ снова подошелъ къ бурлакамъ.

— А васъ много?

— Не всѣ ошшо.—Ихъ было человѣкъ тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро идти-то?

— Скоро.

Пила ушелъ отъ бурлаковъ и поѣхалъ въ Подлипную. Дорогой онъ думалъ: «идти въ бурлаки, или нѣтъ? Бурлачество, баютъ,—хлѣба много... А въ деревнѣ што! тотъ боленъ, другой помираетъ, третьяго везти хоронить надо. Эхъ!.. Надоѣла эта жизнь!.. Дай, пойду въ бурлаки... Надоѣли подлиповцы: пусть помираютъ, мнѣ не пособить. Только выздоровѣетъ Сысойко и Апроська, возьму ихъ съ собой»... Пилѣ эта мысль хорошею показалась, онъ захохоталъ и рѣшился, во что бы то ни стало, уйти съ Апроськой и Сысойкомъ бурлачить самъ не зная, что̀ это за дѣло такое, вѣря въ слово богачество и въ надежду имѣть всегда много хлѣбушка... «Уйду же я, уйду! Ужъ не поклонюсь болѣ никому, не дамъ коровы. Что̀ я безъ коровы-то? Вонъ везу двѣ свиньи, да что толку—не живыя... И станового теперь не боюсь»... При мысли о томъ, что онъ будетъ бурлачить, Пила чувствовалъ какую-то легкость, свободу, удовольствіе и никого не боялся.

До Подлипной Пила ѣхалъ четыре дня. Ночи онъ спалъ въ деревняхъ. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или онъ идетъ куда-то на гору съ Сысойкомъ, Апроськой и всѣми подлиповцами Сердится Пила: зачѣмъ это прочіе подлиповцы идутъ, зачѣмъ и Матрена тутъ, и старуха Сысойкова тутъ?.. Идутъ они долго-долго, все гора, и конца нѣтъ. Вотъ одинъ свалился съ горы, за нимъ другой и прочіе, и Пила въ страхѣ кричитъ и пробуждается. «Не дошли»... ворчитъ Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше—хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется: опять онъ съ своимъ семействомъ и подлиповцами на полѣ, и всѣ рубятъ дрова. Рубятъ, рубятъ, а дровъ нѣтъ... Гдѣ же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пилѣ, сталъ онъ искать ихъ, нашелъ: лежатъ въ подлиповскомъ болотѣ мертвые—медвѣдемъ изгрызены... Заплакалъ Пила, заревѣлъ... Проснулся, на глазахъ слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: «а что, если померли?»... Пила не могъ придумать, что будетъ съ нимъ, если помрутъ Апроська и Сысойко. Онъ только и придумалъ: «а пошто я-то не помру? Я-то на што живу»... Въ первый разъ въ жизни Пила почувствовалъ сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойкѣ и Апроськѣ всю дорогу мучила Пилу; всю дорогу онъ не находилъ покоя. Золъ сдѣлался Пила и боялся онъ пріѣхать въ деревню, точно въ ней сто медвѣдей засѣли.

Пріѣхавъ въ деревню, Пила прямо отправился къ Сысойкѣ. Домой онъ побоялся придти. Въ избѣ было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли?—сказалъ Пила.

Пила не получилъ отвѣта. Хотѣлось ему удостовѣриться, залѣзши на полати, да боялся Пила. Въ первый разъ въ жизни Пила побоялся покойниковъ. Однако Пила залѣзъ на печку. Тамъ лежала мать Сысойки. Пила заглянулъ на полати, никого нѣтъ. Полегче сдѣлалось Пилѣ: «Теперь Сысойко у меня... мать вѣрно померла»,—сказалъ онъ весело. Сталъ онъ щупать старуху: старуха холодная, не дышетъ, лицо зеленокрасное, глаза открыты, такъ

строго смотрятъ... Пила струсилъ старухи, соскочилъ съ полатей, плюнулъ на печку и убѣжалъ на улицу... «Ишшо загрызетъ стерва»—ворчалъ Пила.

Въ свою избу Пила вошелъ весело. Какъ только онъ вошелъ, на него закричала Матрена:

— Што, дьяволъ!.. Всѣхъ насъ уморить што ли захотѣлъ?.. Вонъ Апроська-то померла!..

Пилу какъ обухомъ кто ударилъ по головѣ, онъ ротъ разинулъ и тупо смотрѣлъ на печку, гдѣ сидѣлъ Сысойко, блѣдный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околѣлъ ты, чортъ!?.. Другіе мрутъ, а ему и смерти нѣтъ!

Пилѣ горько сдѣлалось. Ударилъ онъ жену и полѣзъ на печку. На полатяхъ лежала Апроська. Она была такая же, какъ и двѣ недѣли тому назадъ, только не дышала. Пила не вѣрилъ, что она умерла; сталъ онъ ее толкать, она не шевелится... Взвылъ Пила, убѣжалъ на улицу, забрался въ стайку и долго тамъ плакалъ... Въ стайкѣ спали Павелъ и Иванъ. «Помру ли я?» — спросилъ самъ себя Пила. «Уйду отсель! уйду!..»—закричалъ онъ и вышелъ изъ стайки. Пила хотѣлъ ѣхать, но ему жалко стало Сысойки, да и что дѣлать съ Апроськой? Везти надо ее, опять надо къ попу ѣхать...

Пила вошелъ въ свою избу. Матрена выла на печкѣ. Сысойко дико смотрѣлъ на Апроську. Онъ не плакалъ, а видно было, что его страшно мучило горе. Онъ любилъ Апроську сильно, хотѣлъ съ ней всегда жить; вотъ умерли ребята его матери, умерла и мать... Зачѣмъ же Апроська померла? Онъ-то зачѣмъ не померъ? Дикъ и золъ сдѣлался Сысойко, теперь онъ походилъ на собаку, лишившуюся своего дѣтища, онъ готовъ былъ, Богъ знаетъ, что̀ сдѣлать, только-бы Апроська была жива, готовъ былъ помереть, но не зналъ, какъ помереть...

Пила такъ же мучился, какъ и Сысойко. Онъ сѣлъ съ Сысойкомъ на полати и долго смотрѣлъ на Апроську, потомъ вскричалъ: «Апроська!..» Апроська не двигалась. Пила заревѣлъ, заплакалъ и Сысойко. Долго плакалъ Пила, да не помогъ слезами горю. Онъ опять вышелъ на улицу, сѣлъ на крылечко и сталъ думать... Сначала ничего онъ не придумалъ, все Апроська мучила его; потомъ ему опротивѣла своя изба, вся деревня. Пила вскочилъ, какъ бѣшеный, и сказалъ самъ себѣ: «Что̀ я за чучело? Что мнѣ жить-то? пойду изъ Подлипной, наплюю на ихъ всѣхъ... Безъ Апроськи что̀ за жизнь». Онъ вошелъ въ избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдемъ бурлачить!

— Не пойду.—Сысойко еще не вѣрилъ тому, что Апроська умерла. «А можетъ она такъ»... думалъ онъ.

— Э, дура голова! Пойдемъ! бурлачество баская штука, богачество получимъ, а хлѣбушка эво! ужасти!..

Сысойкѣ не хотѣлось идти. Пила сталъ уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околѣвай, чортъ! Я одинъ пойду, ребятъ съ собой возьму.

Пила сталъ думать, что̀ теперь дѣлать съ Апроськой. Матрена ругается за корову, говоритъ: вези опять, отдай лошадь... «Ну ужъ, теперь съ меня онъ шишъ возьметъ!» Однако онъ все-таки рѣшилъ везти Апроську и мать Сысойки къ попу... «Коли просить чего станетъ, я и къ набольшему его пойду... Баетъ, у меня начальство есть».

На другой день по пріѣздѣ въ Подлипную онъ принялся дѣлать гробъ съ Сысойкомъ, Иваномъ и Павломъ. На третій день они уложили въ гробъ мать Сысойки и Апроську въ такой одеждѣ, въ какой онѣ умерли. На обѣихъ ихъ были худенькіе полушубки, худые лапти; Сысойко надѣлъ на руки Апроськи свои рукавицы и положилъ ей на грудь ковригу хлѣба. Въ этотъ же день Пила съ женой, дѣтьми и Сысойкомъ, положивъ гробъ на Пилины дровни, отправились въ село. Гробъ былъ прикрытъ досками и обвязанъ веревкой. На немъ сидѣли Пила и Сысойко. На Сысойковыхъ дровняхъ, запряженныхъ въ Сысойкову лошадь, ѣхали Матрена, Павелъ, Иванъ и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривалъ Сысойку идти бурлачить. Сысойко ругался и наконецъ, понявъ, что въ деревнѣ ему тошно жить, согласился идти съ Пилой туда, гдѣ хлѣба много. Только какъ же безъ Апроськи?

— Ужъ не воротишь. Жалко, а нешто дѣлать.— говорилъ Пила вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... лѣшій!..—вскричалъ со злостью Сысойко. Ему слишкомъ было обидно, что Апроська померла.

Священникъ удивился, когда увидалъ передъ своимъ домомъ подлиповцевъ.

Этотъ день былъ теплый, какихъ въ этомъ краю мало бываетъ зимой. Солнце грѣло, съ крышъ капало, вѣтру не было. Пила подумалъ, что лѣто скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! —говорилъ Пила, весело указывая на солнце.—Лѣто тожно скоро... Ишь, какъ баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Онъ все думалъ объ Апроськѣ.

— А пошто она издохла?.. Пошто?—вскричалъ Сысойко.

— Пошто?—спросилъ и Пила, и ему тоже обидно сдѣлалось.

Вышелъ священникъ:—Ну, что, братцы?

— Што! Знамо што...—сказалъ Пила съ сердцемъ. Онъ и Сысойко теперь походили на звѣрей. Вокругъ нихъ собралось много крестьянъ, которымъ Матрена и Павелъ толковали, какъ померла Апроська, и которые жалѣли и умершихъ, и Матрену.

— Кто опять померъ?—спросилъ священникъ.

— Кто? какъ бы не ты, жива бы Апроська-то была...—ворчалъ Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Отъ того и померла...

Крестьяне между тѣмъ съ участіемъ разспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Ступайте въ церковь, я сейчасъ буду.—Священникъ ушелъ къ становому, крестьяне по своимъ домамъ, а Пила и Сысойко поѣхали къ церкви. Церковь была отперта сторожемъ. Поставивши

гробъ среди церкви, Пила и Сысойко съ Павломъ и Иваномъ отправились на кладбище.

— Неужели тутъ все люди?—спросилъ Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, гдѣ отецъ-то твой лежитъ?

— Кто ево знаетъ!

— А вонъ на той сторонѣ, — туда и пойдемъ копать; а вонъ тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снѣгъ, потомъ топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась съ часъ, до тѣхъ поръ, пока за ними не прибѣжалъ сторожъ.

Въ церкви священникъ и дьячокъ начинали уже отпѣванье. Дьячокъ стоялъ около священника, на которомъ была надѣта ветхая риза. Въ рукахъ у священника было кадило. Въ церкви теплилась одна лампада и горѣли двѣ свѣчки. Гробъ былъ открытъ. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрѣли на Апроську. Они не молились, а думали; жалко имъ было и досадно, что Апроська умерла, что ее въ землю скоро зароютъ; а какъ да старуха-то съѣстъ ее?..

— Надо бы другой гробъ-то,—сказалъ Сысойко.

— Поздно ужъ.

Пилу и прежде, и теперь одно занимало: зачѣмъ это священникъ какой-то штукой съ дымомъ такимъ баскимъ машетъ? Это занимало и дѣтей его, и Сысойку.

— Батшко, ты не хлесни Апроську-то, — сказалъ Пила.

Священникъ молчалъ.

— Право, брось! Ишшо вырвется.

Священникъ сталъ убѣждать Пилу, что онъ дѣлаетъ нехорошо, что это такъ закономъ установлено. Наконецъ священникъ кончилъ отпѣванье, посыпалъ трупы землей и велѣлъ подлиповцамъ нести гробъ.

Съ полчаса Пила возился съ Сысойкомъ. Сысойко просилъ еще посмотрѣть на Апроську, а Пила хочетъ закрыть гробъ и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не наглядѣлся!

— Пила, я Апроськѣ носъ откушу!..

— А это вишь? – Пила показалъ Сысойкѣ кулакъ.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко расцапался съ Пилой. Дьячокъ и сторожъ выпроводили подлиповцевъ изъ церкви и съ двумя крестьянами вытащили гробъ на улицу.

На кладбищѣ Пила увязалъ гробъ веревкой, покопалъ еще яму и съ Сысойкомъ и ребятами опустилъ гробъ въ яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну ужъ, развязывать не стану.

— Я завяжу.

Пила толкнулъ Сысойку и сталъ засыпать гробъ землей. Засыпавъ землей и снѣгомъ яму, Пила и Сысойко воткнули въ курганъ два топора.

— Нà, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дѣти Пилы ушли къ матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко съ полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрѣли на топоры; жалко имъ топоровъ-то, а можетъ Апроськѣ понадобятся они. Надо бы съ ней положить... «Вѣдь вотъ, Апроська-то жила, жила, а теперь лежитъ вотъ тутъ»...—говорилъ Пила и плакалъ.

— Какъ бы ее старуха не съѣла. Пошто же это въ землю-то зарыли?—говорилъ Сысойко.

— Пошто! што съ ней, мертвой-то?

— А мы возьмемъ, уволокемъ!

— Ну-ко возьми! Ужъ теперь ихъ нѣтъ тута.

— Вре?!

— Попъ баетъ, улетѣли!

— Ахъ, ватаракша! да мы зарыли-то, не попъ?

— Ну, баетъ, какъ зароемъ — и тютю...

Вдругъ Сысойкѣ послышался стонъ изъ земли, онъ пустился бѣжать и, запнувшись о пень, упалъ.

— Экъ те бросило!—захохоталъ Пила.

— Пишшитъ!.. Ай, пишшитъ!—кричалъ Сысойко.

Пила струсилъ.—Кто пишшитъ?—крикнулъ онъ.

Пила услыхалъ изъ могилы стонъ и стукъ... Пилу морозомъ обдало, онъ не могъ двинуться съ мѣста... Изъ могилы раздался еще глухой протяжный стонъ, похожій на визгъ. Пила побѣжалъ. Добѣжавъ до воротъ, онъ закричалъ: «Сысойко! бѣда!» Сысойко лежалъ на своемъ мѣстѣ, боясь встать... Ему слышался еще стонъ. Пила тоже не шелъ къ Сысойкѣ. Оправившись отъ испуга, онъ сжалъ кулаки и сталъ ворчать: «попишши ты у меня! Я те ужо... Экъ те взяло!.. Сысойка!»

Сысойко опять пустился бѣжать и, прибѣжавъ къ Пилѣ, кричалъ: «ай бѣда! пишшитъ! все пишшитъ»...

— И теперь?

— Теперь... Сысойкѣ и теперь казалось, что пишшитъ. Пила уже не слыхалъ стона.

— Кто же пишшитъ-то!.. Витеръ?—спрашивалъ Пила.

— Апроська.

— Ужъ молчалъ бы... Знаешь ты черну немочь.

— Апроська!

— Ну, нѣтъ, Апроська улетѣла... Вотъ такъ штука!..

Обоихъ ихъ любопытство брало, что̀ это за штука такая? Идти развѣ послушать, да боялись они, ихъ трясло.

— Ужъ не Апроська ли?—сказалъ вдругъ Пила.

— Я те баялъ...

— Подти туда?

Сысойко побѣжалъ за ограду, Пила пошелъ за нимъ.

— Лѣшій! право... чортъ! подемъ, поглядимъ тамока,—уговаривалъ Сысойку Пила.

Сысойко не шелъ.

Пила и Сысойко сказали объ этомъ Матренѣ и ребятамъ, и тѣ испугались. Сказали они и крестьянамъ, тѣ сначала не повѣрили, потомъ пошли на кладбище, но такъ какъ тамъ ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предметъ любви Пилы и Сысойки, Апроська, была живая похоронена. Интересно было бы знать,

что бы сталось съ ними тогда, когда бы она пробудилась отъ летаргіи въ то время, какъ Пила ладилъ веревку обвязывать гробъ. Вѣроятно они разбѣжались бы, а можетъ быть, и убили бы ее.

Послѣ зарытія Апроськи въ землю и послѣ слышаннаго Пилой и Сысойкомъ стона изъ могилы горе обоихъ усилилось. Они ходили какъ полуумные, взбѣшенные, и какъ ни были глупы оба, но у обоихъ явилось въ ихъ мозгахъ сомнѣніе насчетъ смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську.

Наконецъ Пила и Сысойко увѣрились въ томъ, что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче. «Апроська умерла, убилась. А я-то пошто живу!» думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня,—сказалъ Сысойко

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойко!.. Поѣдемъ, — говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшимъ?

— Бурлачить

— Убей меня!..

— Богачество тамъ... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе!—Пила заплакалъ.

Сысойко изругался, въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь,—на все, чего онъ не понималъ...

— Пойди ты въ Подлипную... Ну, что тамъ? помремъ.

— Пойдемъ, Пила, пойдемъ, братанъ... Эхъ, Пила!

Горе обоихъ велико было. Для обоихъ міръ этотъ казался тяжелымъ, невыносимымъ. У нихъ не было отрады. При всей бѣдности, безъ Апроськи они думали: какъ жить теперь?

— Пойдемъ вмѣстѣ,—сказалъ Сысойко. — Веди, а въ Подлипную шабашъ!

— Ужъ ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты—бѣда мнѣ...

— Мнѣ тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они заснули, то имъ померещилась Апроська съ искусанными руками, и они слышали откуда-то стонъ. Они спали не долго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана въ городъ.

Когда была жива Апроська, Матренѣ было все равно, что есть у нея дочь; не будь дочери, Матренѣ было бы тоже все равно: есть человѣкъ — ладно, а впрочемъ пожалуй и не надо бы: хлѣбъ лишній идетъ; только ровно веселѣе съ дѣвкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, какъ кормила и прочихъ дѣтей. Только въ этомъ и заключалась любовь матери къ дочери. Когда умерла Апроська, Матренѣ жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидитъ уже Апроськи, не будетъ говорить съ ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у Бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ахъ, пошто ты померла!.. Пожила бы ты ошшо чуточку, поглядѣла бы ошшо на красно солнышко»... Слова эти были заимствованы Матреной у другихъ женщинъ, плакавшихъ и причитавшихъ по усопшимъ, и все-таки они были искреннія, задушевныя: больше этихъ словъ Матрена ничего не придумала хорошаго. Матренѣ жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотѣлось ѣхать въ деревню. Безъ Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена объ этомъ при жизни Апроськи, представь себѣ то, что Апроська, какъ и всѣ, можетъ умереть, теперь бы ей не такъ жалко было Апроськи. Но Матрена никакъ объ этомъ не думала: она хотя и видѣла умершихъ женщинъ, но никакъ не могла представить себѣ того, что Апроська можетъ умереть; она не могла до сихъ поръ понять: что это такое дѣлается съ людьми, когда умираютъ, и зачѣмъ ихъ зарываютъ въ землю? Матрена даже не вѣрила, что и она можетъ умереть, а если говорила о своей смерти, такъ только такъ себѣ, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: «и ты, Матрена, тоже помрешь, и тебя въ землю зароютъ», Матрена тому бы въ лицо плюнула и обругала бы.

Когда Пила сталъ звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итакъ, подлиповцы, Пила съ женой и дѣтьми и Сысойко, отправились бурлачить.

Подлиповцы пріѣхали въ городъ часу въ пятомъ вечера. Они остановились у содержателя постоялаго двора, Терентьича. Терентьичъ зналъ Пилу, который часто прислуживалъ ему, и потому пустилъ подлиповцевъ даромъ. Кромѣ подлиповскихъ лошадей, во дворѣ была только одна лошадь. Пила досталъ хозяйскаго сѣна, утащилъ изъ незапертой стайки овса и сталъ кормить лошадей. Подлиповцы отправились въ избу. Въ ней было до двадцати мужиковъ: пермяковъ, черемисовъ и вотяковъ. Половина изъ нихъ лежали на печкѣ, на полатяхъ и на лавкахъ, половина сидѣли за большимъ столомъ и хлебали что-то въ родѣ щей. Въ избѣ не было огня, хотя было очень темно.

— Богъ на помочь!—сказалъ Пила.

— Ладно. Ты откедова? — спросили его сидящіе за столомъ.

— Подлипную знаешь?

— Кто те знаетъ? Вячкой или Чердынскій?

— Чердынскій.

— Колдунъ, ребя!

Пила подумалъ: «сдѣлаю я съ вами штуку».

— Экъ васъ сколь! Бурлачить?

— Бурлачить.

— Э!

— А эта баба-то тоже?

— Тоже.

— Бабъ, баютъ, не берутъ.

— Ее возьмутъ... Она килы садитъ.

Сидѣвшіе за столомъ вытаращили глаза на Матрену.

— Вѣрьте вы ему, ватаракшѣ... Онъ вонъ Апроську уморилъ!—ворчала Матрена.

— Слышь, бѣда!.. чурайся! наше мѣсто свято!..— шептались мужики.

Пилу манилъ запахъ щей, и онъ подошелъ къ столу.

— Экую ты гомзулю-то взялъ!.. Смотри, обтрескаешься!—сказалъ Пила одному мужику, оплетавшему большой ломоть хлѣба.

Мужикъ спряталъ кусокъ за пазуху. Четыре мужика вылѣзли изъ-за стола, за ними вышли и прочіе.

— Экой лѣшой, и ись-то не даетъ!

— Шаркни его по башкѣ-то.

— Топоромъ ево!—кричали мужики.

— Садись, Сысойко.

За столъ усѣлись всѣ подлиповцы—Пила, Сысойко, Матрена съ Тюнькой, Павелъ и Иванъ.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно наслышались, что всѣ Чердынскіе крестьяне колдуны, а колдунъ, по ихъ понятіямъ, опасный человѣкъ, да и не человѣкъ, а чортъ не чортъ, что-то особенное: и человѣкомъ ходитъ, и невидимкой дѣлается, съ нечистой силой знается, медвѣдемъ бѣгаетъ, сорокой летаетъ и проч., и проч... Неспавшіе мужики стали смотрѣть на Пилу и Матрену, сидѣвшіе за столомъ и вышедшіе изъ-за него стояли у печки и у порога, доѣдая куски хлѣба, и молча смотрѣли на подлиповцевъ, ожидая какого-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись доѣдать лежащій на столѣ хлѣбъ и налитыя въ большую чашку скоромныя щи.

— А ты напередъ заплати деньги, тогда и распоряжайся,—сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплачу,—сказалъ Пила.

— Заплатишь ты! Сколько ѣлъ, а все не платилъ.

— А ты погляди, кто у те въ чашкѣ-то сидитъ?

— Кто сидитъ?—спросила хозяйка.

— Дай сюды, покажу!

Пила подошелъ къ хозяйкѣ.

— Что ты врешь?

— Ослѣпла! Гляди, мышь!

— Ахъ вы, погань экая!..—сказала хозяйка.— Вы и хлѣбъ-то весь испоганите.—Она хотѣла взять хлѣбъ, но Пила сказалъ ей, что въ ковригѣ лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась къ печкѣ и стала смотрѣть на подлиповцевъ, какъ они охобачивали хлѣбъ. Щей уже не было. Мужики дивились.

— Ишь, Якуня, Ваня, што діётся!

— Подемъ!

— Ты учись, научитъ...

Такъ толковали мужики.

— А я ишшо не то сдѣлаю,—бахвалился Пила.

— Ой!

— Подемъ, ребя!

— Айда.—Стоявшіе мужики ушли.

Хозяйка вѣрила всѣмъ предразсудкамъ и страшно боялась колдуновъ. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что онъ хитрилъ надъ мужиками и возилъ съ собой какія-то травы, которыя и ей давалъ. Увидѣвъ теперь, что его испугались мужики, она тоже струсила. Хотѣла скликать мужа-хозяина, но въ то же время ей хотѣлось выслужиться и Пилѣ.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебѣ што ли надо?

— Не мнѣ, а Терентьихѣ. Проходу мнѣ нѣтъ отъ нея; все говоритъ: ужъ какова ни будь, да буду я тебѣ!

— А много ли дашь?

— Да денегъ-то нѣтъ...

— Кормить станешь?

— Ладно, только сдѣлай килу.

— Ужъ сдѣлаю!

Мужики съ печки полатей, и лежащіе на лавкахъ слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наѣлись подлиповцы. Цѣлую ковригу съѣли.

— Што, Сысойко, наѣлся?

— Баско! Ошшо бы...

— Нѣту болѣ!—сказала хозяйка.

— Ну, теперь спать.—Пила полѣзъ на полати.

— Убью! не ходи...—закричалъ одинъ мужикъ.

— А ты гляди: кила у тебя на рожѣ-то!—сказалъ Пила.—Мужикъ испугался и ушелъ съ полатей, за нимъ ушли и прочіе. Они улеглись на полъ, подлиповцы залѣзли на полати и расположились спать, не раздѣваясь, такъ же, какъ и прочіе мужики.

— Учись, Сысойко!— всему научу,— хвастался Пила.

— Ты врешь все.

— Хошь килу?

— Нѣтъ.

— То-то... Ужъ я, братъ, што захочу, все сдѣлаю.

— А зачѣмъ Апроська умерла?..

— Такъ ты колдунъ?—спросилъ одинъ мужикъ съ печи.

— Колдунъ.

— Глиже! У насъ тоже есть колдунъ; што захочетъ, такъ будетъ. Баба есть такая, въ трубу вылетаетъ.

— А вотъ эта баба-то—бѣда!—сказалъ Пила про Матрену.

— Ой-ли?

— Вѣрь ты ему, варнаку!—отплюнулась Матрена.

— А ты молчи!—крикнулъ на нее Пила.

— Што молчать-то!..

Матрена знала, что Пила не колдунъ; а впрочемъ, кто его знаетъ. Пила слишкомъ заврался.

— Ребя, бабы-то нѣтъ ужъ!

— Ой!

— Улетѣла! А ты молчи!—шепнулъ Пила Матренѣ, которая лежала у стѣны.

Мужики струсили.— Какъ улетѣла?— спросили они, а заглянуть на полати боялись.

— Да она откедова?

— Кто ее знаетъ? Сѣла ко мнѣ на лошадь, вези, говоритъ...

— А ты-бы ее топоромъ, топоромъ, такъ бы и хлесталъ.

— Билъ—не беретъ...

— Куды же она улетѣла?

— А кто ее знаетъ? Она вонъ къ ейной бабѣ улетѣла.

— Это къ Терентьихѣ?—спросила хозяйка, дрожащая отъ страха.

— Къ ей!

— Слава тѣ Господи!

— А ты зачурайся, — сказалъ хозяйкѣ одинъ мужикъ, лежащій на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатяхъ было такъ тепло, что подлиповцы ни за что бы не сошли и спали бы долго, долго. Они уснули скоро. Во снѣ имъ мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: «Апроська! пишшитъ!» Мужики, бывшіе въ избѣ, долго еще толковали насчетъ Пилы и разсказывали разные случаи объ колдунахъ, слышанные ими отъ людей.

— Недавно,—говорилъ одинъ:—у насъ, значитъ, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вотъ и появись колдунья, и запѣла по-куричьи: съѣмъ, баетъ... Бѣда! Такъ и бѣгатъ за бабами! Ну, и драло всѣ, а кто на печку залѣзъ, да кринки на голову и посдѣвалъ... Она, будь проклята, и давай кринки на полъ кидать, кою броситъ, и разобьется... Ужасти!

Мужики крестились и охали.

— Это што,—говорилъ другой.—Вячки-те лучше вашихъ Чердынскихъ. У насъ, братчи, колдунъ издохъ. Какъ ноць, и перевернетца и побѣжитъ, и побѣжитъ!.. Привезли ево въ черковь, черковный пѣунъ и давай отцытывать, а попъ и давай махальничей махать. Махалъ, махалъ долго, а колдунъ и давай зубами цакать... Пѣунъ побѣгъ; а попъ и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдунъ и померъ.

— У васъ што въ Вяткѣ-то? У насъ лучше есть...

Лежавшимъ на печкѣ не спалось. Одинъ изъ нихъ досталъ огня на лучину, всѣ четверо, лежавшіе на печкѣ, заглянули на полати: тамъ всѣ подлиповцы храпятъ, и Пила тутъ, и Матрена тутъ.

— А баба-то прилетѣла!

— Хлобысни бабу-то!

— Ты хлобысни...

Пила въ это время проснулся, взглянулъ... Мужики испугались и слѣзли съ печки... Пила влѣзъ на печку и уснулъ на ней одинъ. Онъ спалъ лучше всѣхъ.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотѣлось имъ еще поспать, да хозяинъ сказалъ, что у нихъ одной лошади нѣтъ. Пила и Сысойко соскочили, одинъ съ печки, другой съ полатей, вышли во дворъ; дѣйствительно, не было лошади Пилы съ дровнями и двумя топорами.

Пила выругалъ хозяина, говоря: ты укралъ мою лошадь. Хозяинъ тоже выругалъ Пилу, говоря, что лошадь укралъ не онъ, а навѣрное мужики, ушедшіе изъ избы вечеромъ. Пила пошелъ съ Сысойкомъ по городу отыскивать свою лошадь. Но городъ не Подлипная; въ городѣ скорѣе заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошелъ въ сосѣдній съ постоялымъ дворомъ дворъ, тамъ кучеръ выругалъ его и погрозилъ отправить въ полицію: въ третьемъ онъ натолкнулся на какого-то барина, баринъ прикрикнулъ на него... Пила постоялъ на улицѣ, подумалъ, куда идти искать? «Пропала лошадь, не найдешь. Вотъ если бы я колдунъ былъ, ужъ не украли бы лошадь», — ворчалъ Пила. Горе его велико было, лошадь—товарищъ крестьянина. Куда онъ теперь дѣнется безъ лошади, пожалуй, и бурлачить нельзя. «Оказія! Ахъ, воры!.. И смерти-то на васъ нѣтъ»... Изругался Пила сильно; долго ругался, ругалъ и Матрену, и Сысойку, и мужиковъ, и Апроську выругалъ, а лошади не отыскалъ.

По дорогѣ шли вчерашніе мужики.

— Вонъ онъ, колдунъ-то!—сказали нѣсколько мужиковъ.

Пила выругалъ ихъ.

— Ишь онъ, чортъ-то! Видно мяконькихъ наклали.

Пила опять выругалъ ихъ.

— Лошадь украли!—крикнулъ онъ.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиковъ, какъ медвѣдь: одного сшибъ съ ногъ, другого повалилъ на снѣгъ, третьему носъ разбилъ... Мужики разбѣжались отъ него.

— Смѣшно, лѣшіе?.. лошадь украли, дьяволы!..— ругалъ Пила.

Пошелъ онъ опять на постоялый дворъ. Тамъ было шесть мужиковъ. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки... Тебѣ на што лошадь-то? Въ бурлаки съ лошадями не берутъ,—не нужно. А ты вотъ продай эту.— Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь.—Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди, издохнетъ. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай,—ворчитъ Пила.

— Были они, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, присталъ: продай да продай!

— А посмотри—завтра и этой не будетъ.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, что лошадь не надо?—спросилъ Пила, понявъ, что имъ нечѣмъ будетъ кормить лошадь.

— Што врать-то, дѣло говорю. Рубля три дадутъ...

— Экой прыткой... Пять давай!

Пила больше пяти рублей не зналъ счету: для него пять рублей уже богачество было.

— Не продамъ!—сказалъ Сысойко.

— А оно гоже, Сысойко, толкуютъ!—Лошадь-то, того и гляди, издохнетъ; ужъ моя ходила чуть-чуть, а эта ишь какая пигалица, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко рѣшили продать лошадь и тутъ же продали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поѣхали съ крестьяниномъ въ питейную лавочку. У питейной лавочки стояло съ пятнадцать мужиковъ.

— Эй ты, лѣшой! Гдѣ баба-то?—спросилъ Пилу мужикъ, спавшій въ постоялой избѣ.

— Што баба?... Вотъ лошадь украли.

— А я, баетъ, колдунъ.

— Поговори ты у меня, шароглазый песъ!

Мужики осмѣяли Пилу. Пила обругалъ ихъ.

Въ питейной лавочкѣ пили водку три мужика. Крестьянинъ, купившій Сысойкину лошадь, поставилъ полштофа водки и сталъ подчивать подли-

повцевъ. Сысойко никогда не пивалъ еще водки, — со стакана его разобрало. Въ лавочку вошло еще человѣкъ шесть. Попойка продолжалась съ часъ: Пила, захмѣлѣвъ, пропилъ еще рубль. Мужики стали пѣть и плясать и кричали до ночи, когда ихъ вытолкали на улицу. Мужики орали пѣсни или разсуждали о бурлачествѣ.

— Баско бурлачить!—замѣтилъ Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался впередъ и назадъ, направо и налѣво.

— Баско,—отвѣтилъ одинъ мужикъ.

— А што дѣлать-то?—спросилъ Пила.

— Плыть. Рѣки эво какія! Большущія, пребольшущія.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будетъ Соликамско городъ. потомъ Усолье городъ, Дедюхино...

— Вре!

— Пра. Тамъ Чусова рѣка, Кама-матушка... Вотъ дакъ рѣка! А тамъ, баютъ, Волга, супротивъ той Кама што! А идетъ она съ тово свѣту, и конца ей нѣту.

— На ней, баютъ, атаманъ Ермакъ,—силища у него у! какая была!—онъ, баютъ, города бралъ; никто ему не смогъ перечить...

— А тамъ люди-то есть же?—спросилъ Пила.

— Есть, да иные, баютъ.

— Вотъ, Сысойко, куда мы пойдемъ! Ты мнѣ долженъ спасибо сказать, каракуля ты экая...— говорилъ Пила.

Пила и Сысойко отстали отъ мужиковъ, шли кое-какъ; Пила хвалился тѣмъ, что онъ сила и колдунъ, Сысойко почти спалъ и только нукалъ да эвалъ. Шагъ за шагомъ ноги обоимъ измѣняли, и они, разсудивъ, что лучше тутъ уснуть, улеглись среди дороги и, въ первый разъ въ жизни забывъ о житейскихъ дрязгахъ, о своемъ горѣ, уснули въ обнимку. Зато утромъ они проснулись въ мѣстѣ грязномъ, мѣстѣ прохладномъ и душномъ, среди незнакомыхъ лицъ, мужиковъ и какихъ-то, «кто ихъ знаетъ какихъ» людей...

Благодѣтельная полиція сжалилась надъ подлиповцами, спавшими среди улицы на дорогѣ, и стащила ихъ въ чижовку.

Пила и Сысойко никакъ не могли понять, гдѣ они и что это за люди такіе. Помнятъ они, что были въ кабакѣ, а какъ сюда забрались? Они даже струсили: ужъ не на тотъ ли свѣтъ они забрались, ужъ не бурлачество ли это? Пошелъ Пила къ дверямъ, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такія слова, что Пилѣ смѣшно стало. Спросилъ онъ ихъ:—а што бурлачество это? Тѣ осмѣяли его. Пила ихъ выругалъ и улегся опять на полъ около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то все какіе-то востроглазые.—Пила и Сысойко уснули. Однако имъ не позволили долго нѣжиться. Пришелъ въ чижовку квартальный съ казаками и растолкалъ ихъ ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такіе?—крикнулъ на нихъ квартальный.—Пила струсилъ.

— Мы-те?—спросилъ онъ.

— Да что ты, скотина, не отвѣчаешь?

— А ты знаешь Подлипную?

— Что?

— А ты не кричи! Экъ испугались!..—сказалъ Пила и пошелъ къ дверямъ. Квартальный ударилъ Пилу по лицу, Пила сталъ ругаться и полѣзъ въ драку...

— Въ острогъ его, каналью! Въ кандалы заковать!—свирѣпѣлъ квартальный.

— Экъ испугались! Туды тоже и съ лапищами лѣзетъ!.. Я, батъ, восемь медвѣдевъ убилъ.

Долго возились съ Пилой и Сысойкомъ солдаты: хочется солдатамъ кандалы надѣть на ноги подлиповцевъ, а они ругаются; одному солдату такую затрещину далъ Пила, что тотъ и свѣту божьяго не взвидѣлъ. Солдаты связали имъ руки, но и тутъ Сысойко укусилъ одному солдату руку. Подлиповцевъ вытолкали изъ полиціи и два дюжихъ солдата повели ихъ въ острогъ.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантовъ, не знали, что за острогъ, не понимали, что такое дѣлается съ ними. Впрочемъ, они струсили. Ужъ не на смерть ли ихъ ведутъ? Пила боялся солдатъ.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы?—спросилъ Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, въ острогъ.

— А это што?

— Не бывалъ коли,—увидишь. Заворовали сволочи!

— Поругайся ты, востроглазый!

— Видно плута.

— Право, не ругайся, всего изобью! — Пила рванулъ было руки, крѣпко связаны назадъ. Пила чувствовалъ, что онъ ровно безъ рукъ сдѣлался. Онъ пошелъ въ сторону, за нимъ пошелъ и Сысойко.

— Куда! куда!—закричали солдаты.

Пила и Сысойко пустились бѣжать. Солдаты ихъ догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругали другъ друга.

— Баялъ я тѣ, не пойду!—ворчалъ Сысойко.

— Молчи, пучеглазый! не ты бы, такъ не пошелъ бы я.

— А ошшо баетъ: я колдунъ!—Сысойко выругалъ Пилу. Пила плюнулъ въ лицо Сысойкѣ. Сысойко тоже плюнулъ въ лицо Пилы.

— Смирно вы, дьяволы!—закричалъ на нихъ одинъ солдатъ.

Пила и въ солдата плюнулъ... Солдатъ опять избилъ Пилу. Кое-какъ солдаты довели подлиповцевъ до острога и сдали офицеру. Смотритель втолкнулъ ихъ въ большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, съ удушливымъ запахомъ махорки. Руки имъ развязали.

— Ишь чортъ, куда попали!—ворчалъ Сысойко.

— Молчи, собака, звѣрь ты эндовой, мохнорылый песъ!..

— Издохнешь, пигалица!

— Тьфу... мохнорылый песъ!—Пила плюнулъ въ лицо Сысойки, тотъ тоже плюнулъ. Завязалась

драка. Ихъ оглушили хохотомъ тридцать человѣкъ арестантовъ съ кандалами, лежащихъ на нарахъ и подъ нарами. Двадцать арестантовъ окружили подлиповцевъ и розняли ихъ.

— Я восемь медвѣдевъ убилъ, а ты што?—ругался Пила.

— Самъ я одново убилъ... Экой прыткой!

— Ай да молодцы! Ну-ко ишшо?—кричали арестанты.

— Што ишшо? Подойди, песъ!—кричалъ Пила одному арестанту.

— Ты много ли душъ-то сгубилъ?

— За убійство знамо попался!

Пила схватилъ попавшійся подъ руки ушатъ и поднялъ его въ порывѣ ярости; его облило чѣмъ-то вонючимъ. Всѣ хохотали, даже Сысойко смѣялся. Пила бросился на арестантовъ, Сысойко тоже бросился, но арестанты избили ихъ.

— Не хочу я знаться съ вамъ!—сказалъ Пила.—Айда, Сысойко.

Пила пошелъ къ двери; двери были заперты. Пила сталъ стучать въ двери и услышалъ: «что стучишь, сволочь? Сиди!»

— Я тѣ дамъ, сиди!—Пила и Сысойко, что есть мочи, стучали въ двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храберъ!—кричали арестанты.

— Ты, Сысойко, за меня держись... Какъ отопрутъ, мы и выскочимъ, а то съѣдятъ здѣсь. Ишь, какія рожи-то...—Сысойко взялъ въ обѣ руки полы полушубка Пилы. Загремѣлъ замокъ, двери отворились, Пила и Сысойко выскочили. Но ихъ поймали. Смотритель ихъ жестоко отпоролъ розгами и втолкнулъ въ какую-то темную канурку. Пилѣ и Сысойкѣ такъ обидно сдѣлалось отъ боли и отъ всего, что было съ ними, что каждый изъ нихъ хотѣлъ что-нибудь сдѣлать этимъ злымъ людямъ. Оба они лежали вмѣстѣ на животахъ; руки были завязаны на спинѣ. Они не могли даже повернуться: такъ ихъ избили и истерзали!..

— Сысойко!..—стоналъ Пила.

— Пила!—Охъ, больно!..

— Ну, теперь помремъ...

Пила началъ ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

На другой день подлиповцевъ повели въ полицію. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая отъ боли. Лица ихъ избиты; отъ ранъ на нихъ запеклась кровь.

— Экъ, тебя избили!—сказалъ жалобно Пила Сысойкѣ.

— И тебя, батъ, тоже, глаза-тѣ у тебя эво какіе! а носъ-то—бѣда!..—стоналъ Сысойко.

Несмотря на боль, обоихъ забавляли ружья солдатскія.

— Што же это торцытъ, Сысойко? Вострое—ножъ не ножъ?..

— А ты спроси!

— Нѣтъ, ты спроси.

— Боюсь, изобьютъ; ишшо пырнетъ востреемъ-то...

Пила не утерпѣлъ, спросилъ таки солдата:—А это, поштенный, что у те?

— Што што?

— А на ружьѣ-то торцытъ.

— Это ружье, а то штыкъ.

— Эво, не знаю што ли ружья-то! Медвѣдевъ вонъ ломомъ билъ, а рябковъ ружьемъ стрѣлялъ, знаю.

Солдаты хохотали:—Будетъ вамъ жару и пару!

— Ишшо?

— И какъ еще вздерутъ-то!

— А пошто?

— А за-то, не ходи пузато. Не дѣлай убійства.

Пила и Сысойко молчали.

Въ полиціи были городничій и судебный слѣдователь.

Въ присутствіе ввели Пилу одного.

Судебному слѣдователю жалко стало Пилу при видѣ его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важныхъ преступника, которые бѣжали отъ стражи и были пойманы. Обстоятельство дѣла началось съ донесенія квартальнаго, который писалъ, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улицѣ, были приведены въ полицію и тамъ произвели буйство.

— Кто ты такой?—спросилъ судебный слѣдователь Пилу.

Пила повалился въ ноги судебному слѣдователю.

— Не губи, батшко! Вонъ корову увели, лошадь украли... Апроська померла... Всего избили... Смерть тожно скоро...

Городничій улыбнулся.—Притворяется, каналья!

— Встань!—сказалъ слѣдователь. Когда Пила всталъ, слѣдователь велѣлъ развязать Пилѣ руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынской.

— Крестьянинъ?

— Хресьянинъ.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, обчество Чудиново.

— Чѣмъ занимаешься?

— А што дѣлать-то?.. Хлѣбушка нѣтъ, кору ѣдимъ... Вонъ Сысойковы ребята померли, корову за нихъ увели... А тамъ Апроська померла, Сысойкова мать померла, я и пошелъ бурлачить... Вонъ Матренка съ рябятами у Терентьича на постояломъ живетъ... Пусти, батшко, бурлачить-то!.. Ослободи!

— А какъ зовутъ тебя?

— Зовутъ меня Пила.

— Имя и отчество?

— Туто все: Пила родился, Пилой помру... Зовутъ еще Гаврилкомъ, да это только дразнятся, а Пила настоящее; всѣ такъ зовутъ: и попъ, и Терентьичъ здѣшній.

— Зачѣмъ ты драться лѣзъ?

— Гдѣ-ка?

— А какъ тебя пьянаго сюда привели и какъ потомъ квартальный сталъ тебя спрашивать.

— Кто его знаетъ, кто онъ. Я съ Сысойкомъ ле-

жалъ, а онъ съ архаровцами пришелъ и давай пинать меня, а потомъ и хлеснулъ... А я, батъ, самъ восемь медвѣдевъ убилъ, никому не спущу... Больно прытокъ!.. Ишшо не то ему сдѣлаю... Ишшо вотъ желѣзки, собака, надѣлъ...

— Ты не ругайся, а говори дѣло.

— Ужъ какъ умѣю... А ужъ не спущу... Вонъ архаровцы всего избили, а тамъ еще хлестать стали... Бѣда!..—Пила плакалъ.

— Онъ, кажется, невиноватъ!—сказалъ слѣдователь городничему.

— Притворяется, собака.

Позвали квартальнаго. Какъ только вошелъ квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вотъ онъ, ватаракша! Ну-ка, подойди ко мнѣ! Подойди!

— Молчать!—сказалъ городничій. Пила присмирѣлъ.

— Вы его привели въ полицію ночью?—спросилъ слѣдователь квартальнаго.

— Казаки.

— Онъ говоритъ, вы его били.

— Ахъ, онъ каналья! Онъ спалъ пьяный, я сталъ будить его и другого, они ругаются. Сталъ спрашивать, кто они такіе, этотъ разбойникъ и полѣзъ на меня. Я и велѣлъ заковать въ кандалы и отвести въ острогъ.

— Зачѣмъ?

— Да помилуйте, онъ всѣхъ перерѣжетъ!

— Ахъ, ты востроглазый чортъ!.. Я тѣ дамъ!!! Ты меня бить-то сталъ, а ужъ тебѣ гдѣ со мной орудовать. На тебѣ и надѣто-то што!.. Пиголица, право!

— Онъ вотъ и теперь ругается. Да онъ, можетъ быть, бѣглый какой-нибудь.

— Есть у тебя паспортъ?—спросилъ слѣдователь Пилу.

Пила не понималъ.—Это какъ?

— Получалъ ты когда-нибудь паспортъ изъ волостного правленія?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми напередъ.

— Знаешь ты, что такое паспортъ?

— А пошто?

— Тебѣ не давали никакой бумаги?

— Нѣту!

Слѣдователь показалъ Пилѣ лежащій на столѣ паспортъ.

— Баско!—осклабился Пила.—А ты дай мнѣ!—Пилѣ понравился кружокъ съ орломъ на паспортѣ:—А это какая птича-то?

— Есть у тебя квитанція въ платежѣ податей?

Пила не понималъ этихъ словъ:—Это опять какъ?—спросилъ онъ.

— Платилъ ты подати?

— Самъ бы взялъ ошшо, да не даютъ, вонъ Христа ради пособираешь да купишь хлѣбушка. Экъ ты!..

Пила сдѣлался развязнѣе. Слѣдователь понравился ему.

— Вотъ што, почтенный, дай мнѣ хлѣбушка, Христа ради!.. Вотъ у меня Сысойко того и гляди помретъ; а Матрена съ ребятишками померла ужъ поди.

— На что же ты пьянствовалъ?

— А я лошадь Сысойкову продалъ хресьянину; хресьянинъ и повелъ насъ, меня да Сысойка, въ кабакъ; хресьяна чужіе пришли, ну, и пили... За лошадь два рубля получилъ, а какъ хватился въ томъ мѣстѣ, гдѣ меня впервые избили, и тю-тю денегъ...

Слѣдователь былъ человѣкъ молодой и понималъ дѣло. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебѣ лѣтъ?—спросилъ онъ Пилу.

— Да вотъ поди лѣто скоро будетъ... Лѣтомъ-то баско...

— Неужели ты не знаешь себѣ лѣтъ?

— Прокуратъ ты, какъ я погляжу! Померъ бы я, да не могу... Вчера вотъ думалъ, совсѣмъ помру, а нѣтъ... Вотъ Анроська сперва померла... Ахъ, дѣвка, дѣвка!..

Пила вспомнилъ, какъ онъ видѣлъ ее въ могилѣ.

— Кто она тебѣ?

— Дѣвка. Матрена родила.

Слѣдователю не разъ приводилось имѣть дѣло съ подобными крестьянами. По своей глупости они ни за-что, ни про-что попадали въ бѣду. Назадъ тому годъ до него подобныхъ крестьянъ обвиняли въ разныхъ разностяхъ, приговаривали къ каторгѣ, и они, терпя наказанія и разныя муки, шли въ далекія страны, сами не зная, что съ ними дѣлается, и гибли, какъ гибнутъ измученныя животныя. Прежнимъ слѣдователямъ никакого не было дѣла до участи этихъ бѣдныхъ крестьянъ, имъ только нужно было скорѣе сдать дѣло въ судъ, который рѣшалъ по тѣмъ даннымъ, какія были въ дѣлѣ. Счастье Пилы, что его сталъ спрашивать не становой и не городничій, а такой слѣдователь, какихъ у насъ еще очень немного.

— Если ты окажешься правъ, мы отпустимъ тебя,—сказалъ Пилѣ слѣдователь.

Пила повалился въ ноги слѣдователю...

— Батшко! пусти скорѣе!.. Куды я безъ Сысойка дѣнусь, и его пусти, вѣдь вонъ тамъ парни ошшо.

Пилу вывели въ прихожую. Позвали Сысойка. Сысойко оказался еще глупѣе Пилы, говорилъ то же, что и Пила. Онъ даже не зналъ своего настоящаго имени, а говорилъ: «я Сысойко,—и все тутъ».

Позвали Матрену и ребятъ Пилы. Тѣ разсказали все, что умѣли и знали, а Матрена выла объ Апроськѣ. Хозяинъ постоялаго двора сказалъ, что онъ знаетъ Пилу нѣсколько лѣтъ, что онъ вреда не дѣлаетъ, а больно бѣденъ. Спросилъ слѣдователь и арестованныхъ при полиціи, тѣ показали, что квартальный въ тотъ день былъ пьянъ. Пилу и Сысойка расковали и оставили при полиціи подъ арестомъ до тѣхъ поръ, пока не получатъ донесенія отъ станового пристава, завѣдующаго Чудиновской волостью, о томъ, есть ли тамъ Пила и Сысойко, и какія настоящія ихъ имена.

Въ полиціи Пила и Сысойко жили съ мѣсяцъ. Жили они въ небольшой комнатѣ, называемой чижовкой, грязной, съ тремя лавками, двумя небольшими окнами съ рѣшотками и съ разбитыми стеклами въ

рамахъ, заклеенными въ нѣсколькихъ мѣстахъ бумагою. Клоповъ, блохъ и вшей въ ней находилось безчисленное множество, и эти насѣкомыя, то и дѣло, что насыщались кровью своихъ жертвъ— нѣсколько человѣкъ, постоянно находящихся въ чижовкѣ. Иногда въ чижовкѣ было человѣкъ 10, иногда и 5. Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицахъ полиціею, люди, нанесшіе обиды разнымъ подобнымъ же имъ людямъ, не платящіе долговъ, уличенные въ воровствѣ и разныхъ преступленіяхъ, которые сидѣли тутъ по недѣлямъ, а потомъ или препровождались въ острогъ, или выпускались.

Пилѣ и Сысойку весело было съ этими людьми; но они все-таки имъ не нравились. Они поняли, что чижовка такое мѣсто, куда садятъ только «негожихъ людей, да и люди эти все ругаются, да говорятъ такія слова, что ужасти». Первую недѣлю Пила привыкалъ къ этой праздной жизни и удивлялся, какой это добрый человѣкъ носитъ имъ хлѣбъ, хоть и не свѣжій, а все же настоящій, и воду носитъ. Но когда онъ узналъ отъ солдатъ, что онъ подъ судомъ, и хлѣбъ дается ему казенный или царскій, и когда товарищи его надоѣли ему, онъ не залюбилъ эту чижовку и всѣхъ людей, которые въ ней жили, и постоянно ругался съ ними. Первымъ дѣломъ его храбрости въ чижовкѣ было то, что онъ согналъ съ одной лавки двухъ женщинъ и расположился съ Сысойкомъ на мѣсто ихъ. Это было на второй недѣлѣ ихъ заключенія. Всѣ они спали на полу въ своей одеждѣ, на своихъ кулакахъ, такъ какъ постлать и положить подъ голову нечего было, но привыкши спать на полатяхъ и понявъ, что спать на лавкахъ лучше, чѣмъ на полу, гдѣ постоянно ходятъ и наступаютъ на нихъ, Пила, во что-бы то ни стало, задумалъ отнять одну лавку. Какъ онъ ни приступалъ, его не пускали на лавки и даже гнали, когда онъ садился. Но вотъ одна лавка опросталась: лежавшіе на ней арестованные были выпущены, и на ихъ мѣсто расположились двѣ молодыя женщины, обвинявшіяся въ воровствѣ. Пила узналъ, кто эти женщины, и не залюбилъ ихъ. Когда на другой день потребовали ихъ къ допросу, Пила и Сысойко тотчасъ заняли ихъ мѣсто. Замѣтивши это, другіе арестованные, перебивающіеся такъ же, какъ и подлиповцы, обидѣлись.

— Вы, сволочи, зачѣмъ легли?

— А што?

— Тутъ занято, почище васъ есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, батъ, раньше тебя живемъ.

Какъ ихъ ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались и съ мѣста не шли.

Пришли женщины и, увидѣвъ, что имъ, кромѣ пола, лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойка. Тѣ притворились спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударилъ одну изъ нихъ такъ, что та упала на полъ.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко подойди ошшо! Подойди!..

— Ты наше мѣсто занялъ.

— Я тѣ дамъ «занялъ»! Прытка больно!..

Въ чижовкѣ всѣ хохотали.

— Да пустите, черти!—просили женщины.

Пила легъ лицомъ къ стѣнѣ и ворчитъ:—Я те пуншу, ватаракшу. Ты то пойми: за что мы-то сидимъ?—Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хорошій!—говорила одна.

— Я тѣ «хорошій»... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу. Пила опять ударилъ ее.

— Сказано, не тронь! и все тутъ! А съ тобой ужъ не лягу, у меня вонъ Апроська была, а ты—чужая...

. . . . . .

Подлиповцы каждый день топили печки въ полиціи и у городничаго; случалось, проводили по цѣлому дню въ кухнѣ городничаго, что-нибудь работая. Дни эти были блаженные для нихъ: они были нѣсколько свободны, ихъ кормили щами, жаркимъ и даже кашей. Самъ городничій понялъ положеніе Пилы, тѣмъ болѣе, что жена его, Матрена, просила городничаго пустить ее въ чижовку жить съ ребятами. Они теперь жили у одной нищей за 15 коп. въ мѣсяцъ и собирали Христа ради. Однако городничій не дозволилъ Матренѣ жить въ каталажкѣ, а погрозилъ отправить въ Подлипную.

Казаковъ и солдатъ подлиповцы не любили, но боялись ихъ; тѣ, зная о подлиповцахъ, обращались съ ними добрѣе, чѣмъ съ прочими арестованными, и часто шутили. По мнѣнію солдатъ и казаковъ, подлиповцы были очень глупы и дики; раздразнить ихъ ничего не стоило; осердившись, подлиповцы лѣзли драться на того, кто сердилъ; но не всѣ изъ солдатъ были такіе: одинъ изъ нихъ часто отговаривалъ подлиповцевъ отъ ругани и драки. Отъ этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому какъ говорить, кому кланяться, кому нѣтъ. Подлиповцы узнали также, что ихъ становой и сельскій попъ еще не большія лица, а въ городѣ есть выше ихъ: исправникъ, городничій, судья, а надъ попомъ — благочинный, и что надъ этими лицами еще есть старше, они живутъ въ губернскомъ городѣ, и надъ тѣми тоже есть старшіе... Подлиповцы только дивились этому и плохо вѣрили. Говорили имъ также, что этотъ городъ не одинъ и земля велика; подлиповцы только смѣялись.

Впродолженіе мѣсяца подлиповцы узнали больше, чѣмъ живши до этого времени; напримѣръ, они узнали, что есть мѣста лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такіе, которыхъ ни зачто обижаютъ и дѣлаютъ съ ними не силой, а чѣмъ-то инымъ, все, что только захотятъ, какъ это было и съ ними: въ Подлипной они боялись только попа и станового, а здѣсь многіе ихъ обидѣли, избили и отодрали, и теперь никуда не пускаютъ. Узнали, что такое паспорты; узнали также, что такъ жить, какъ жили они, нельзя, а нужно идти въ другое мѣсто. Пилѣ и Сысойкѣ опротивѣла не только деревня, село, но даже и городъ, и они задумали, какъ выпустятъ ихъ, тотчасъ же идти бурлачить и вести себя скромнѣе.

Наконецъ, Пилу и Сысойку выпустили изъ полиціи.

— Куда теперь?—спросилъ Сысойку Пила.

— Знамо, бурлачить.

— Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмемъ?

— Возьмемъ.

— И Матрену?

— А не то какъ? Ну, и времячко! и городокъ!.. Сколько бѣдъ-то!

— Одно къ одному и идетъ. Апроськи нѣтъ, пишшитъ поди, стерво. Лошади тютю...

— А тамъ, баютъ, лучше.

— Опять бы бѣды не было?

Насобиравъ на дорогу хлѣба, купивъ на собранныя деньги два мѣшка и по двѣ пары лаптей, подлиповцы съ Матреной и дѣтьми ея отправились бурлачить. Къ нимъ пристали еще четыре крестьянина Чердынскаго уѣзда, отправляющіеся бурлачить въ третій разъ.

Подлиповцы и прочіе крестьяне очень бѣдно одѣты, но послѣдніе, по одеждѣ, все-таки нѣсколько богаче первыхъ. На нихъ надѣты овчинные полушубки, во многихъ мѣстахъ изодранные, зашитые сѣрыми нитками или дратвой, съ заплатами кожи, холста и синей нанки; подъ полушубкомъ видится поддевка изъ толстой сермяги, также вѣроятно съ заплатами; на головахъ большія шапки изъ бараньей шкуры, тоже съ заплатами; на ногахъ новые лапти; мочальными бичевочками обвязаны сѣрые съ синими изъ нанки заплатами штаны, по колѣни не закрытые ничѣмъ; на рукахъ—или небольшія кожаныя рукавицы, тоже съ заплатами, но онѣ не однѣ надѣты на руки: подъ ними есть варежки, когда-то связанныя изъ шерсти, а теперь обшитыя холстомъ,—или большія собачьи рукавицы, т. е. сшитыя изъ бѣлыхъ собачьихъ шкуръ съ шерстью. Но Пила и Сысойко одѣты еще хуже; на нихъ полушубки изъ овечьей и телячьей шкуръ, чуть-чуть прикрывающіе колѣни. Полушубки эти распластаны во многихъ мѣстахъ, дыры ничѣмъ не зашиты, сквозь нихъ видятся сѣрыя изгребныя рубахи и грудь, такъ какъ у горла нѣтъ ни пуговицъ, ни крючковъ, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. Отъ полушубковъ болтаются о колѣни клочки кожи. Шапки у нихъ изъ телячьихъ шкуръ тоже съ дырами, ничѣмъ не зашитыми; синіе штаны, обвязанные по колѣни веревками отъ худыхъ лаптей, тоже съ дырами, и сквозь дыры видно тѣло; лапти худые, изъ носковъ выглядываютъ онучи; рукавицъ не было ни у Пилы, ни у Сысойки: ихъ украли въ полиціи. Матрена была одѣта въ такой же полушубокъ, какъ и подлиповцы, и такіе же лапти, съ тою разницею, что колѣни ея прикрывала синяя изгребная рубаха, а голову худенькій платокъ, подаренный ей въ городѣ. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ея сидѣлъ трехгодовалый Тюнька. На рукахъ Матрены были варежки, такія же, какъ и у крестьянъ, шедшихъ съ ними. На Павлѣ и Иванѣ не было вовсе шерсти, а сверхъ худыхъ рубахъ надѣты сѣрыя поддевки; ноги и колѣна прикрывали тряпки, завязанныя бичевками отъ худыхъ лаптей; на рукахъ большія кожаныя рукавицы съ дырами; на головахъ шапки изъ крѣпкаго войлока. У каждаго изъ нашихъ путешественниковъ болтается на спинѣ по котомкѣ съ хлѣбомъ, по парѣ или по двѣ пары лаптей; у Пилы, кромѣ этого, болтается еще вмѣстѣ съ лаптями худой сапогъ, найденный имъ въ городѣ гдѣ-то среди дороги, вѣроятно брошенный по негодности. Для чего взялъ Пила этотъ сапогъ, онъ и самъ не зналъ, а понравилось. «Баская штука-то; ужо продамъ!» говорилъ онъ, и дѣйствительно продавалъ въ городѣ этотъ сапогъ, только никто его не взялъ.

Идутъ наши подлиповцы по большой дорогѣ, ухабистой и частью занесенной снѣгомъ; идутъ по сугробамъ и ругаются. Морозъ какъ на зло щиплетъ имъ и щеки, и колѣни, и пальцы ногъ и рукъ, и уши; хорошо еще, что по обѣимъ сторонамъ лѣсъ густой и высокій. Подлиповцы привыкли къ холоду и ихъ только злятъ проѣзжіе въ повозкахъ и съ дровами: нужно сворачивать въ сторону; а какъ своротилъ, такъ и увязъ въ снѣгу по колѣни, а гдѣ и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они въ первый разъ въ жизни шли куда-то далеко; прежде они ѣздили на лошади, и хоть холодно имъ было, но все же не вязли въ снѣгу. Зачѣмъ это тятька и Сысойко коней продали? разсуждали они. Ѣхали бы мы, ѣхали баско; а то иди, иди, конца нѣтъ... Они шли два часа и имъ показалось это долго, они устали; имъ щипало пальцы ногъ и рукъ, носы забѣлѣлись, уши тоже.

— Тятька, помру!—кричалъ Павелъ.

— Тятька, не пойду!—кричалъ Иванъ.

— Я вамъ дамъ!—сказалъ Пила и обернулся назадъ. Жалко ему стало ребятъ.

— Што щиплетъ?

— Аяй!

— Три носъ-то, да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те!—кричалъ одинъ крестьянинъ, а другой сталъ тереть Ивану щеки, носъ и уши.

— Ой, ноги щиплетъ!—кричали Иванъ и Павелъ.

— Бѣги! впередъ бѣги, прыгай, тепло будетъ!

Ребята пустились бѣжать и стали скакать.

— Ай мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што имъ въ деревнѣ-то дѣлать? помрутъ!

— Такъ оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околіютъ.

Но и тутъ Пила отобралъ отъ Павла рукавицы, и поэтому Павелъ отнималъ у Ивана рукавицы, Иванъ отнималъ ихъ въ свою очередь у Павла,—такъ что эта борьба смѣшила нашихъ путешественниковъ.

Лучше всѣхъ было Тюнькѣ. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то онъ плакалъ и кричалъ, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи ихъ шли большею частью молча. У всѣхъ была какая-то тяжелая, неопредѣленная дума, какая-то тоска и радость: всѣхъ тяготила мысль о прошедшемъ, радовало будущее, хотѣлось скорѣе получить богачество. Пила и Сысойко думали о прошедшемъ, о своихъ горестяхъ и о томъ, что-то будетъ въ бурлачествѣ. Сколько проѣхало мимо нихъ повозокъ съ теплыми шубами! Подлиповцы имъ кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колокольчиковъ, и долго стояли на одномъ мѣстѣ, глядя на удаляющуюся повозку. Сидѣвшіе въ повозкѣ не

только не кланялись имъ, но и не глядѣли на нихъ. Они не знали, сколько потерпѣли горя Пила и Сысойко, не знали, что вся жизнь ихъ была одни лишенія, несчастія, горькія слезы; что они не могли оставаться въ своей деревнѣ; что имъ надоѣла своя родина, и вотъ они бѣгутъ отъ нужды, идутъ въ морозъ куда-то въ хорошее мѣсто, гдѣ будетъ имъ лучше, гдѣ будетъ много хлѣба, гдѣ они будутъ свободны... Далеко ли имъ идти, они не знаютъ, а ужъ коли пошли, пойдутъ таки, авось будетъ хорошо, а назадъ не за чѣмъ. Будь хоть тамъ богачество,—они назадъ не пойдутъ: тамъ они лишились Апроськи, коровы, лошадей, тамъ ихъ избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойка, уже не молодые люди, также ругались и также сѣтовали на свою горькую, безотрадную жизнь; имъ также опротивѣла своя деревня, и они вотъ уже третью зиму оставляютъ свои семейства на произволъ судьбы. Понятія ихъ были не лучше, чѣмъ у подлиповцевъ. Они разнились отъ подлиповцевъ только тѣмъ, что были люди уже бывалые, видали города, испытали бурлацкую жизнь, словомъ, были люди тертые. Какъ ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она имъ казалась лучше, чѣмъ въ своей деревнѣ, гдѣ они жили только два мѣсяца въ году и скучали о бурлачествѣ. Теперь они рѣшились не ходить въ свои деревни, а жить въ городахъ на время зимы. Только жалко имъ было своихъ семействъ, но что же дѣлать: бабъ бурлачить не берутъ, а сыновья еще маленькіе. «Пусть сами идутъ добывать хлѣбъ», говорили они. Пила ихъ ругалъ за это, но крестьяне были своего убѣжденія: они уже обурлачились, стали отвыкать отъ бабъ и разныхъ удовольствій...

Вотъ что разсказывали подлиповцамъ эти крестьяне. Спервоначалу баско. Турнутъ тебя на барку и заставятъ грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, въ рубахѣ гребешь... спотіешь, а барку несетъ по водѣ чуть-чуть, потому, значитъ, желѣза въ ней много. Почнетъ витеръ, такъ барку-то и давай качать туды да сюды... А на Чусовой такъ наша барка, лѣтось, о камень хлобыснулась и потонула; одинъ бурлакъ, молодой парнюга, дай Богъ ему на томъ свѣтѣ баскую жизнь, потонулъ, родной, — такъ и не искали; баютъ, послѣ вынырнулъ, да ужъ мертвый... Насъ было много; робить заставили, значитъ вытаскивать желѣзо да барку, какъ воды меньше стало... Опосля ужъ на другую барку сѣли... Плыли долго... Городовъ много видали... Чудеса. А какія тамъ махины бѣгаютъ по водѣ-то, съ колесами, да съ печкой, трубища въ сажень, а гдѣ и больше... Пра! А какъ сцапаетъ двѣ, либо три огромнѣющія махины, только безъ колесъ, и волокетъ такъ прытко и къ верху, и къ низу. Баско... Только трудновато на баркѣ-то, а все же ровно лучше. А таперь хлѣбъ тамъ какой есть: бѣлый, — чарскій, баютъ. Все бы ѣлъ да ѣлъ, дорого только... Какія тамо яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко тамъ!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всемъ вѣрили товарищамъ и отъ души полюбили ихъ.

— А вы насъ туда и ведите!.. На самое такое мѣсто...—говорилъ Пила.

— Ужъ приведемъ, спасибо скажешь... А назадъ ужъ мы не подемъ, шабашъ!

— И мы не подемъ.

Наконецъ, попалась имъ деревня. Всѣ они разбрелись по домамъ. Добрые хозяева, разспросивъ ихъ, куда они идутъ, пустили ихъ на печки. Подлиповцы и товарищи ихъ, отогрѣвшись на печкахъ, закусивъ тѣмъ, что дали имъ хозяева, которые были немного позажиточнѣе подлиповцевъ, отправились опять въ путь.

Подлиповцы и ихъ товарищи пять дней шли, пять ночей спали въ деревняхъ, пять дней мерзли на холодѣ, оттирали свои щеки рукавицами и бѣгали по дорогѣ, отогрѣвая ноги, ругали холодъ, вѣтры и вьюгу, пять ночей отогрѣвались на печкахъ, а конца все нѣтъ. Пилу и Сысойка брало сомнѣніе: куды это они насъ ведутъ! Они часто спашивали крестьянъ: «а скоро придемъ?»

— Да теперь скоро Усолье, тамъ и возьмутъ насъ,—отвѣчали имъ крестьяне.

Пила и Сысойко послѣ этого терпѣливо стали ждать конца и шли веселѣе. Деревни здѣсь попадались чаще, съ виду онѣ были лучше Чердынскихъ, и людей въ нихъ больше на улицѣ, и всѣ что-нибудь да дѣлаютъ: то бревна распиливаютъ, то избу строятъ то дрова куда-то да сѣно везутъ.

— Вотъ здѣсь баско!..—говорилъ Пила.

— И хлѣбъ-то здѣсь баская, — говорилъ Сысойко.

Иванъ и Павелъ часто мерзли отъ холода; крѣпко ихъ пробивало вѣтромъ; часто они плакали... садились на дорогу; но Пила колотилъ ихъ и заставлялъ идти. Ребята шли и плакали... На шестой день они пришли въ Усолье.

Усолье большое село, расположенное на берегу рѣки Камы. Оно очень красиво на видъ: соляныя варницы его рисуются на берегу р. Камы; зимою строятся барки и баржи, весною рѣка оживаетъ; всюду съ отплытіемъ льда снуютъ бѣдные мужики и спѣшатъ куда-то; сплавляются барки внизъ, пароходы, зимовавшіе на Камѣ, оживаютъ отъ своего сна, бѣгутъ къ низу одни, или потащутъ за собою баржи. Цѣль этихъ пароходовъ—дать пищу жителямъ. По мелководью Камы выше Усолья и большею частью по ненахожденію хорошихъ лоцмановъ, знающихъ Каму отъ Усолья до Чердыни, буксирные пароходы ходятъ отъ Перми только до Усолья, и то весной и до половины лѣта. Отъ Перми до Усолья только два пассажирскихъ парохода. Сбытъ Усолья—соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, въ которыя помѣщаются десятки тысячъ пудовъ соли и которыя большею частью дѣйствуютъ лошадьми. Усолье богатое село; въ немъ живутъ зажиточные купцы; остальной людъ большею частью пробивается около варницъ Усольскихъ и Дедюхинскихъ — завода, находящагося вблизи отъ Усолья. Несмотря на то, что и въ Соликамскѣ есть варницы и въ 12 верстахъ отъ него стеклян-

ный Ивановскій заводъ, городъ этотъ, какъ и Чердынь, бѣднѣе Усолья, потому что сбытъ всѣхъ матеріаловъ изъ него шлется въ Усолье, оттуда идетъ въ Пермь и дальше большею частью по рѣкѣ. Соликамскіе жители всегда закупаютъ въ Усольѣ хлѣбъ и другія необходимыя вещи.

Наши подлиповцы ротъ разинули при видѣ хорошихъ домиковъ и особенно варницъ: все какіе-то столбы стоятъ, а промежъ ихъ, наверху, перекладины; дома большіе, съ большими лѣстницами до самой крыши; мужчины и женщины по лѣстницамъ какіе-то мѣшки таскаютъ. Вездѣ народъ что-нибудь дѣлаетъ: кто дрова, доски, бревна везетъ; бабы или ругаютъ мужчинъ, или поютъ звонко пѣсни, мужчины щиплютъ ихъ, онѣ визжатъ и колотятъ ихъ кулаками или мѣшками. Всюду оживленіе, суетня, — иная жизнь, неизвѣстная доселѣ нашимъ подлиповцамъ... «Эко диво! Вотъ бы поробить!.. А это што? Ишь домина-то какая не широкая да высокая, а въ верху штука какая-то: то поднимается, то унырнетъ»...

— Это, братцы, соль добываютъ. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнетъ, — это насосъ, а столбы-те эти съ перекладинами тоже штучка... вишь перекладину-то: это жолобъ. Соль идетъ въ варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы ѣдимъ, а черная; въ варницѣ, — вишь, гдѣ изъ трубы дымъ-то идетъ, — тамъ она варится и дѣлается бѣлой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ахъ, цуцело! Это соль-то, што на хлѣбъ сыплемъ!—удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты самъ погляди.

Товарищи повели подлиповцевъ въ насосъ. Тамъ четыре лошади, погоняемыя однимъ мальчуганомъ, шли кругомъ столба съ колесами. Колеса двигались, и ихъ много, большія и маленькія. Подлиповцы ничего не понимали, и товарищи ихъ старались разъяснить имъ, какъ соль добывается.—«Лихо, братъ, колеса-те ворочаются, смотри, какія большія. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнетъ какая-то штучка, а здѣсь вишь ты!»... — разсуждали товарищи подлиповцевъ. Мальчуганъ погонялъ лошадей. «Эй, вы, черти! Пссю! Я васъ!» и онъ билъ ихъ палкой. Какъ должно быть скучно его занятіе погонять лошадей вокругъ столба цѣлый день, а можетъ быть и недѣлю... Павла и Ивана задоръ взялъ: имъ завидно стало. Обоимъ хотѣлось такъ же погонять лошадей, какъ погонялъ этотъ мальчуганъ. Они пристали къ нему попросту, какъ къ обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуганъ обругалъ ихъ. Подлиповцы вышли. Этотъ мальчуганъ былъ тертый калачъ, испытавшій нужду и горе съ дѣтства, человѣкъ заводскій; а нашъ заводскій мальчикъ не уступитъ взрослому заводскому человѣку, который толковѣе и злѣе крестьянина.

Заводскій человѣкъ больше золъ на свою судьбу, чѣмъ крестьянинъ. Крестьянинъ (я беру государственнаго) работаетъ на себя, сколько ему хочется; съ него требуютъ только подати, спрашиваютъ рекрута, да онъ долженъ понравиться,—т. е. удовлетворить станового. Заводскій человѣкъ не то. Нанялся онъ въ рабочіе (я беру не то время, когда эти люди были крѣпостными и когда съ ними дѣлали, что̀ хотѣли), назначили ему въ мѣсяцъ, понедѣльно или поденно плату и говорятъ: вотъ тебѣ работа,—непремѣнно, чтобы она была кончена. Не кончилъ работникъ къ сроку работу или прогулялъ нѣсколько дней, т. е. почему-нибудь не пришелъ на работу, ему не дадутъ жалованья. Если рабочій дѣлаетъ не такъ, и мастера замѣчаютъ, что онъ лѣнится, его прогоняютъ, не заплативъ платы. И такъ часто заводскому человѣку приходится искать работы долго и голодать, потому что онъ идти въ старое мѣсто боится; но куда пойдешь? какъ оставишь свое семейство, которое живетъ только имъ однимъ? И вотъ онъ за какую бы то ни было плату готовъ опять работать на томъ же заводѣ: «пусть дѣлаютъ, что хотятъ, а я буду робить»... Онъ работаетъ день, на ночь уходитъ домой въ надеждѣ, что получитъ деньги утромъ; не утромъ, а въ первомъ часу приказчикъ, явившійся посмотрѣть, работаютъ ли люди, гонитъ отъ себя рабочихъ: приказчикъ человѣкъ богатый; онъ чувствуетъ, что онъ сила, что онъ все, что онъ имѣетъ рабовъ... а этимъ рабамъ ѣсть нечего, убиваются ихъ жены, голодаютъ дѣти!..

Вотъ почему рабочій человѣкъ ко всему относится съ ненавистью. Ни работа его не радуетъ, ни свое семейство; онъ всю жизнь свою мучится: онъ еще въ дѣтствѣ знаетъ, что̀ онъ за человѣкъ, въ дѣтствѣ начинаетъ привыкать къ работѣ и, наконецъ, поступивъ въ рабочіе, видитъ угнетеніе, его бьютъ... Ушелъ бы, да боится: онъ только и умѣетъ дрова рубить да сѣно косить, да соль варить или что-нибудь подобное, къ чему онъ пріучился еще съ восьми лѣтъ.

Всѣ заводскіе мальчики смышленѣе крестьянскихъ мальчиковъ: мальчикъ шести лѣтъ уже бѣгаетъ по заводскимъ улицамъ съ другими мальчиками, съ товарищами, не боится старшихъ; видя то, что̀ дѣлаютъ старшіе и что̀ особенно его забавляетъ и нравится ему, онъ дѣлаетъ то же самое одинъ или съ товарищами; онъ такъ же ругается, какъ и взрослый, и кого ненавидятъ старшіе, того ненавидитъ и онъ.

Товарищи Пилы повели подлиповцевъ въ варницы. Въ варницѣ печь огромная; пламя въ ней такъ и разливается, жара нестерпимая, а мужики то и дѣло бросаютъ въ нее большущія полѣнья... «Диво! Откуда и лѣсу-то столь добыто? Вотъ бы тутъ остаться... тепло было бы, да вонъ и семь мужиковъ, сидя въ углу на землѣ, каждый оплетаетъ большія гомзули хлѣба, да что-то изъ большого котла хлебаютъ»...

— Это што?—спросилъ Пила одного работника, показывая рукой на печь.

— Слѣпъ, што ли?.. Ишь печь!

— Знамо; ровно, печь...

— Ну, и не спрашивай... Ково вамъ надо?

— Да мы такъ, поглядѣть,—сказалъ одинъ товарищъ подлиповцевъ.

— Эка невидаль. Заставить бы васъ поробить, такъ покаялись бы.

Пила не понималъ: что тутъ труднаго? ужъ не горятъ ли тутъ люди? «Вонъ попъ баялъ, какъ помрешь, такъ въ огонь, баетъ, турнутъ... и никогда, баетъ, не сгоришь. Вотъ этотъ огонь-то и есть»... Ему страшно сдѣлалось.

— Пойдемъ, ребя! Ошшо спалятъ! — говоритъ Пила товарищамъ. Товарищи разговаривали съ рабочими.

— Ужъ какъ трудновато. Не знаемъ—дрова въ кучу складывать, не знаемъ—бросать въ печь,— говорилъ одинъ изъ работниковъ.

— Эй вы, черти! что встали? Помогай дрова таскать!—кричалъ одинъ мужикъ, бросая въ варницу дрова, привезенныя на семи лошадяхъ. Подлиповцы съ товарищами стали бросать къ печкѣ дрова. Подлиповцы охотно работали, ихъ пробиралъ потъ, имъ хорошо показалось носить дрова и бросать ихъ въ кучу.

— Баско, Сысойко!..—говоритъ Пила осклабляясь.

— Баско...

— Ты говори спасибо: не я, такъ съѣли бы тебя тамока.

— Ну ихъ къ цорту на кулицки. А мы не пойдемъ отселева?..

— Коли бурлачество — баско... только лиже печь-то, огнища-то эво! Спалятъ ошшо...

— Нѣтъ ужъ, въ друго мѣсто подемъ.

— А вы откелева? — спрашивали между тѣмъ работники товарищей подлиповцевъ.

— А Чердынскіе. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нѣтъ.

— А вы здѣшніе?

— Мы Дедюхинскіе; прежъ казенные были, теперь вольные стали.

— И подать не платите?

— Кои года выслужили, не платятъ. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказываютъ, нынѣ не то, что прежде. Пароходовъ много развелось. Вонъ прежде у насъ и заведенія такого не слыхали, а нынче пароходовъ много ходитъ, а тамъ въ губернскомъ пропасть ихъ.

Товарищи подлиповцевъ повели ихъ въ самую варницу. Тамъ въ огромномъ котлѣ, на подобіе ящика въ нѣсколько саженъ длины и ширины, что-то варилось, только виднѣлась сѣдая пѣна, которую изрѣдка мѣшали рабочіе; надъ котломъ разныя перекладины подѣланы да доски; на нихъ не то снѣгъ, не то что-то сѣрое и что-то каплетъ въ котелъ съ досокъ. Въ одномъ мѣстѣ рабочіе бросали лопатками пѣну на эти доски. Въ правомъ углу, при входѣ, изъ стѣны что-то черное уставилось и отъ него жолобокъ къ котлу сдѣланъ. Сысойко дернулъ за кранъ; потекло черное, густое, небаско пахнетъ...

— Што же это?—дивился Сысойко.

— Это разсолъ...

— Не замай! Што трогаешь! — закричали на Сысойка работники и, оттолкнувши его, завернули кранъ. Пила и Сысойко пристали къ рабочимъ.

— Это што же?

— А вы куда? Сюда нанимаетесь?

— Нѣтъ. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука?—спрашивалъ Пила, указывая на котелъ.

— Это котелъ. Вотъ оттудова, гдѣ крантъ-то, что черное-то бѣжитъ, разсолъ сюда пускаемъ, онъ переваривается въ котлѣ-то, потому, значитъ, подъ котломъ-то печь... А это въ верху-то полати, тутъ соль дѣлается. Опослѣ она въ амбары сыплется.

— Такъ это соль-то и есть?

— Она и есть.

Одинъ работникъ досталъ съ полатей на лопату соли и показалъ подлиповцамъ:—Вишь какая!

— А ты дай намъ соли-то!

Работникъ далъ. Пила склалъ ее въ мѣшокъ, въ которомъ былъ хлѣбъ.

— Да ты заверни чѣмъ-нибудь соль-то, она хлѣбъ испортитъ.

— А пошто?

— Сырой сдѣлается.

Пила не зналъ, что дѣлать; неловко, какъ хлѣбъ испортится; «выбросить развѣ соль-ту», да жалко соли-то попуститься. «Дай, лучше съѣдимъ». Подлиповцы расположились ѣсть хлѣбъ, посоливъ его круто солью до того, что ѣсть вовсе нельзя было. Однако они соль эту ссыпали на другой кусокъ. Наѣвшись, подлиповцы еще попросили соли и завязали, каждый, по ровной части, въ концы полъ своихъ полушубковъ, спросивъ предварительно: а ничего, не съѣстъ соль-та?..

Всему дивились подлиповцы въ варницѣ, все ихъ забавляло; хотѣлось имъ остаться тутъ, да товарищи торопили ихъ къ рѣкѣ. Они пошли. На берегу рѣки и на льду ея работались барки, полубарки и баржи крестьянами. Подлиповцы въ первый разъ видѣли все это.

— Видишь эти штуки? — спросилъ одинъ товарищъ Пилу.

Пила посмотрѣлъ: домины не домины, а съ окнами, трубищи огромныя, по серединѣ ровно колеса.

Въ рѣкѣ стояли три парохода.

— Это вотъ барки; на нихъ мы и поплывемъ. А эти вотъ, съ колесами-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко бѣгаетъ и волокетъ за собой много... много...

— Э, да ты прокуратъ! Ну, какъ на колесахъ по водѣ бѣгать-то? Поди-ко не знаютъ!..

— А такъ.

— Ну, не морочь. Вонъ я сколько разъ былъ на рѣкѣ Камѣ, такъ тамъ колесъ-то нѣту, а вонъ эдакія устроены, — говорилъ Пила, показывая на одну лодку.

Всѣ подошли къ пароходу. Пила и Сысойко сначала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнетъ! — говорилъ Пила Сысойкѣ.

— А ты подойди!

— Я подойду.—А самъ ни съ мѣста. Однако видя, что товарищи ихъ, а также Павелъ и Иванъ, подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укуситъ...

Пила и Сысойко подошли.

— Онъ, братцы, желѣзный,—говорилъ одинъ товарищъ.

— Вре?

— Пра! И какъ бѣжитъ—свиститъ... ужасти!

— Ахъ, чортъ!—дивились Пила и Сысойко.— Какъ же онъ съ колесами? Да и колеса-то какія-то другія, а не наши... Тамъ поди лошадь гдѣ-нибудь спрятана...

— Это вишь ты для виду колеса, а выходитъ, по здѣшнему, перья. Какъ пустятъ его, онъ и почнетъ загребать и почнетъ... да такъ скоро, мигнуть не успіешь.

— А пошто онъ теперь стоитъ?

— По то: рѣка замерзла. А какъ пройдетъ ледъ, онъ и побѣжитъ.

— А скоро?

— Когда тепло будетъ.

— А таперь побѣжитъ?

— Таперь нельзя, ишь привязанъ.—Подлиповцы посмотрѣли на канатъ: толстая штука; имъ въ первый разъ приходилось видѣть подобную вещь. Они захохотали.

— Силенъ, собака. Ишь, какую веревку-то на него надѣли... А какъ онъ да перегрызетъ?..

— Лѣтомъ убѣжитъ... Лѣтомъ, баютъ, онъ на цѣпи стоитъ: якорь такой съ цѣпью бросаютъ въ воду.

— Ахъ, чортъ! ахъ, лѣшій!

Долго дивились подлиповцы надъ пароходомъ и плохо поняли, что̀ это за штука такая. Потомъ они пошли къ баркамъ.

— Это што?—спросилъ Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рѣкой.

— Это рѣка Кама.

— Вре! Да Кама и у насъ есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая цуцело!..

— Куда Богъ несетъ?—спросили ихъ рабочіе.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какіе?

— Чердынскіе.

— Такъ оно. У насъ есть чердынскіе.

— Кто?

— Да съ Прокопьевской волости двое, да изъ Чудиновской семеро.

— Ишь, черти! А у васъ нѣтъ ли чего робить?

— Теперь нѣту. А вы на базаръ ступайте, тамъ много бурлаковъ. Баютъ, приказчикъ какой-то скоро будетъ нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почемъ робите?

— Да рядились по пяти рублевъ, только опаска есть, какъ бы не обмишурились. Вонъ въ прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальченки-то съ вамъ?

— Съ намъ.

— Ой, не возьмутъ!

— Спехаю,—говорилъ Пила про своихъ дѣтей. Подлиповцы съ товарищами пошли на рынокъ.

На рынкѣ они увидѣли до шестидесяти человѣкъ крестьянъ, одѣтыхъ очень бѣдно, съ котомками на плечахъ. Всѣ они ходили по рынку, глазѣли, очень мало покупали, потому что у многихъ не было вовсе денегъ; многихъ изъ нихъ занимали бездѣлицы, удивляло то, что̀ для сельскаго жителя нисколько неудивительно. По выговору ихъ, по одеждѣ, по обращенію замѣтно, что они не здѣшніе, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищутъ, или куда-то идутъ еще дальше. Надъ ними смѣялись торговки, смѣялись надъ ихъ выговоромъ и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Всѣ эти люди такъ же бѣдны, какъ и подлиповцы: нужда, бѣдность края, неумѣнье работать заставили ихъ покинуть свои семьи и идти въ бурлаки съ такимъ же убѣжденіемъ, какъ шли подлиповцы и ихъ товарищи. Каждому, какъ видно, опротивѣла родная сторона, хочется чего-то хорошаго, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поѣсть, хорошо поспать... Здѣсь были крестьяне сѣверовосточной части Вологодской и восточной части Вятской губерній, смежной съ Пермскою: тамъ, при всевозможныхъ усиліяхъ, какъ и въ Подлипной, отъ холода не добывается хлѣба, а сбыта матеріаловъ очень мало. И вотъ они, наслышавшись отъ другихъ крестьянъ, что есть хорошее занятіе— бурлачество, работа легкая: знай плыви, даютъ деньги, ѣда въ волю, люди все разные, мѣстности хорошія,—пустились на удалую въ путь бурлачить по Камѣ, какъ къ ближайшей рѣкѣ отъ ихъ родины, на которой съ давнихъ поръ бурлачило нѣсколько десятковъ тысячъ крестьянъ каждое лѣто...

Послѣ вопросовъ, куда и откуда, подлиповцы и товарищи ихъ пристали къ толпѣ. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, вмѣстѣ съ прочими крестьянами, ходили по селу, дивились надъ хорошими домами, ходили въ варницы на рѣку, помогали даромъ работникамъ, плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали въ постоялыхъ избахъ и въ избахъ бѣдныхъ сельскихъ жителей. На третій день у подлиповцевъ не было хлѣба. Они насобирали хлѣба и по нѣскольку копѣекъ денегъ у сельскихъ жителей; имъ начала надоѣдать эта праздная жизнь; имъ хотѣлось скорѣе дойти до бурлачества. Но вотъ уже четвертый и пятый день прошелъ, а они все ходятъ по селу; крестьянъ прибываетъ все болѣе и болѣе... Всѣ эти крестьяне—жители разныхъ деревень и знакомятся другъ съ другомъ очень просто: спросили, куда и откуда, и конецъ. Въ другѣ другѣ они видятъ подобнаго себѣ человѣка, знаютъ, кто, куда и зачѣмъ идетъ, знаютъ, что цѣль у всѣхъ одинакова: говорятъ они другъ другу о своихъ нуждахъ; сообщаютъ свои понятія о томъ, что̀ ихъ интересуетъ; ѣдятъ вмѣстѣ въ домахъ, гдѣ ихъ квартиры; дѣлятъ пополамъ хлѣбъ и вмѣстѣ спятъ, гдѣ придется, не разбирая и того, что товарищъ не ихъ деревни, и кто его знаетъ, хорошій онъ, или худой

человѣкъ. По имени другъ друга рѣдко называютъ. Они знаютъ товарища по лицу, а въ имени—что толку: онъ ему не братъ, не родня, а такъ сошлись, веселѣе вмѣстѣ. Обругать и осмѣять другъ друга тоже ничего не значитъ; и подерется кто, все какъ-то веселѣе, словно шутя: никто не сердится, а напротивъ, другихъ это забавитъ. Если у бѣднаго и больного человѣка нѣтъ хлѣба, другой товарищъ сжалится надъ нимъ, отдастъ ему излишекъ, надѣясь самъ добыть хлѣба хоть милостинкой, да и товарищу хорошо отъ этого: вѣдь и онъ можетъ быть безъ хлѣба, и ему при случаѣ поможетъ его товарищъ. Если у кого есть деньги и онъ привыкъ употреблять ихъ на водку, то онъ одинъ не выпьетъ, а позоветъ товарищей, которые ему особенно нравятся, или съ которыми онъ живетъ на квартирѣ. Такъ у всѣхъ этихъ крестьянъ были по два и по три хорошихъ товарища, и всѣ они, сойдясь на рынкѣ, были какъ старые знакомые; конечно не снимали шапокъ и не жали руки, а начинали разговоръ прямо.

— А ты, поштенный, што ротъ-то разинулъ?

— Э! ништо.

— Гли, баба-то какъ стерелешиватъ! *)

— Экъ ее разобрало.—Всѣ хохочутъ.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

— А што, ребя, сдюжитъ ли онъ, какъ запречь его вонъ дрова въ варничи возить?

— А пошто?

— А не сдюжить. Ишь, кака штука-то. запрежена, легонькая, махонькая, пиголича...

— Не сдюжитъ.—Всѣ хохочутъ.

И все въ такомъ родѣ.

Пила и Сысойко такъ свыклись съ своими товарищами, что постоянно ходили съ ними, ѣли и спали на одной квартирѣ. Съ своей стороны и тѣ не отставали отъ нихъ, и если у кого-нибудь не было хлѣба, то другой товарищъ удѣлялъ свой излишекъ бѣдному.

Но никто такъ не жилъ дружно, какъ Пила съ Сысойкомъ, Павелъ съ Иваномъ. Объ отношеніяхъ Пилы къ Сысойку и наоборотъ мы знаемъ. Надо сказать и о дѣтяхъ Пилы. Развитіе ихъ началось съ тѣхъ поръ, какъ отецъ повелъ ихъ въ городъ. Въ деревнѣ ихъ уму не предстояло развитія впереди; они бы выросли такъ же, какъ и Пила и Сысойко; въ городѣ они увидѣли другихъ людей, узнали, что тамъ живутъ разные люди; они видѣли, какъ ихняго отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнавъ отъ людей, что это дѣлается только въ такихъ случаяхъ, когда люди убиваютъ и грабятъ, они поняли, что ихъ отецъ плохой человѣкъ, что какъ онъ ни бахвалится, а есть люди лучше его. Съ этихъ поръ отецъ сталъ казаться имъ какъ обыкновенный человѣкъ; онъ и Сысойко казались имъ даже смѣшными, и если они шли за ними, такъ только изъ привязанности къ Пилѣ и Сысойкѣ, да и куда дѣнешься безъ нихъ? Къ тому же они шли куда-то въ хорошее мѣсто, а что имъ оставаться здѣсь или въ Подлипной? Видя городскихъ дѣвушекъ, красивѣе и опрятнѣе подлиповскихъ, ребята подумали, что подлиповскія дѣвушки хуже, вотъ бы съ этой жить... Чѣмъ дальше шли ребята, тѣмъ больше работали ихъ головы. Они бывали во многихъ деревняхъ; деревни были лучше Подлипной, въ избахъ тоже лучше и дѣвки лучше. Въ селѣ ихъ интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? почему здѣсь такъ, а въ Подлипной и въ другомъ мѣстѣ иначе? Но что они могли понять, когда и отецъ, и товарищи отца сами не знали, почему это и зачѣмъ такъ? Вотъ они стали спрашивать сельскихъ жителей, большею частью рабочихъ; тѣ, хотя съ бранью, но растолковали имъ. Послѣ этого ребята долго толковали между собой и кое-какъ понимали. Напримѣръ, они поняли, что разсолъ добывается посредствомъ лошадей, что у лошадей больше силы, чѣмъ у людей, и человѣку-мужику безъ лошадей плохо. Это они узнали такъ. Встали они противъ насоса. Насосъ былъ въ бездѣйствіи. Подошли къ дверямъ—лошадей не было. Они попробовали вернуть колесо, но не повернули. Въ другомъ мѣстѣ лошади были въ дѣйствіи, и насосъ былъ въ дѣйствіи. Короче сказать, они болѣе понимали, чѣмъ ихъ отецъ, Сысойко и Матрена, которая рѣшительно ничего не понимала, а только охала. Понявъ что-нибудь изъ словъ сельскихъ жителей, они сообщали отцу, который не вѣрилъ имъ, и ребята — послѣ того, какъ онъ разъ выругалъ ихъ, когда они сказали ему: «тятька! робь лучше здѣсь, а бурлачить, баютъ, трудно»,—не стали больше говорить ни ему, ни Сысойкѣ, ни Матренѣ того, что̀ имъ казалось хорошо и что̀ было бы хорошо и тѣмъ. Бурлачество ихъ не манило почему-то; имъ лучше нравилось жить въ селѣ, но какъ отстать отъ отца? «Ужъ пойдемъ, тамъ, баютъ, городъ баской есть, тамъ и останемся»...

Теперь жизнь имъ казалась лучше, ихъ тянуло на улицу; они поняли, что прежде они хворали отъ коры; теперь ѣдятъ хлѣбъ, и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо, ноги устаютъ. Братья постоянно были вмѣстѣ, часто ходили по селу одни, говорили безъ умолку, спорили, дрались между собой и съ сельскими ребятишками, которые ихъ очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые имъ весьма не нравились.

— Ужъ мы туда не подемъ!—говорилъ Иванъ Павлу, показывая рукой въ ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятька идетъ, а мы нѣтъ.

— А Агашки не жалко?—спросилъ Павелъ Ивана.

— Ну ее къ чертямъ! Здѣсь, смотри, дѣвки-то.

— Баскія, а тамъ што...

— А ты, Пашка, не отставай отъ меня.

— Ты не отставай. Вмѣстѣ лучше.

— Мы съ тятькой не подемъ... и съ мамкой не подемъ.

— Куды подемъ?.. подемъ ошшо...

Часто имъ доставались колотушки отъ бурлаковъ за любопытство и за то, что они не давали собираемаго хлѣба, котораго у нихъ было всегда больше, потому что имъ меньше отказывали. Они выверты-

*) Бѣжитъ.

вались отъ бурлаковъ и ругали ихъ такъ же, какъ и большіе. На ругань не обращалось вниманія ни отцомъ, ни прочими бурлаками, такъ какъ бранное непечатное словцо было для всѣхъ обыкновеннымъ, какъ въ дружеской бесѣдѣ, такъ и при удивленіи, и какъ ласка; имъ выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящіе бурлаки.

Своего отца Павелъ и Иванъ не боялись и не слушались. Скажетъ онъ имъ: «подите хлѣбъ сбирать!»—одинъ изъ нихъ и говоритъ: «поди самъ сбирай!» Онъ ихъ обругаетъ, а они ему языкъ кажутъ. Онъ ихъ бить, а они барахтаются.

— Ахъ, черти!—ворчитъ Пила.—Въ меня вы, стервы, уродились, сильные будете...—Пила даже радовался, что ребята его умѣютъ драться, и всегда отнималъ у нихъ хлѣбъ съ бою, причемъ конечно ребятамъ больно доставалось.

О Матренѣ нечего сказать. Она постоянно сидѣла или лежала на полатяхъ да говорила съ хозяйкой, большею частью о подлиповцахъ и Апроськѣ.

На пятый день Пила увидѣлъ въ толпѣ прибывшихъ вновь крестьянъ своихъ однодеревенцевъ, Елкина и Морошина, прозванныхъ по-подлиповски Елкой и Морошкой. Пила обрадовался. До сихъ поръ онъ рѣдко вспоминалъ подлиповцевъ, даже сталъ забывать Апроську!

— Вотъ они!—весело вскричалъ Пила Сысойку.—Ахъ вы, лѣшіе! Бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нѣтъ, што за жизнь, — говорилъ Морошка.

— А ребята какъ?

— Баба въ городѣ осталась и ребята съ ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Укралъ?

— Укралъ.

— Ахъ лѣшій, лѣшій! А со мной-то что было, ужасти!

Пила началъ разсказывать, какъ его избили, и повелъ своихъ однодеревенцевъ въ питейную лавочку.

— Ужъ мы все знаемъ, — говорили прибывшіе подлиповцы.

— Ну, ошшо не всѣ померли?—спросилъ Пила Морошку.—А Агашка жива?

— Послѣ твоей Апроськи парень да дѣвка Тычинки померли... Агашка ушла съ бабой,—куды-то въ домъ робить взяли.

— Ишь ты... А попъ?

— Што съ нимъ... Да я, почесь, и не видѣлъ его.

— А какъ... самъ зарылъ?

— Самъ.

— Ну, таперь кто тамъ у те?

— Да жена.

— А околіетъ?

— Пусь.

— Ахъ, чучело!.. жалости въ тебѣ нѣтъ.

— Такъ теперь кто тамъ? Корчага да Кочеражка?—спросилъ Сысойко.

— Идти тожно тоже хочутъ совсѣмъ: уйдутъ тоже, и моя баба съ ними.

— А ты бы и взялъ ихъ!.. Ну, ужъ и край! Кто же въ Подлипной-то останется?

— А собака!

— Эво! И собаку съ собой надо. А дома-то какъ?

— Дома? Эко диво! Што съ домами-то?.. Помрутъ?

Подлиповцы стали ходить вмѣстѣ съ товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребя, тожно всѣ пойдемъ. Смотри не отставать, а што Богъ дастъ, все пополамъ,—усовѣщивалъ Пила своихъ однодеревенцевъ.

— Ужъ не бай; ты голова, не намъ чета.

Наконецъ, пріѣхалъ приказчикъ изъ Шайтанскаго завода за наймомъ бурлаковъ. Около Шайтанскаго и прочихъ заводовъ хотя и есть крестьяне, но они считаютъ за лучшее остаться дома, а крестьяне другихъ сѣверныхъ уѣздовъ губерніи рады за небольшую плату наняться въ бурлаки. Бурлакамъ платятъ отъ 8-ми до 15-ти рублей за сплавъ барки отъ завода до Елабуги и другихъ городовъ выше Нижняго, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числомъ около ста, собрались на рынкѣ. Пришелъ приказчикъ. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта.

Паспорта были у двадцати человѣкъ, преимущественно крестьянъ Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ.

— А у васъ есть паспорта? — спросилъ приказчикъ остальныхъ.

— Батшко, не губи!.. Каки тутъ еще паспорта?..—вопили крестьяне.

— Безпаспортныхъ мнѣ не надо.

Крестьяне въ ноги ему поклонились.

Долго возился съ крестьянами приказчикъ.

Не понимаютъ они его. Ему каждый годъ приводилось возиться съ ними, и онъ все-таки обдѣлывалъ дѣло: самъ ѣздилъ въ волости, выправлялъ паспорта бурлакамъ и вносилъ за нихъ деньги. Теперь онъ заключилъ со всѣми крестьянами контрактъ; отобралъ паспорта, у кого они были, далъ паспортнымъ по рублю, а безпаспортнымъ по полтиннику; велѣлъ дожидаться его, а самъ отправился въ ихъ волости.

Послѣ отъѣзда приказчика всѣ крестьяне загуляли. Загуляли и Павелъ съ Иваномъ, которые хотя и были всѣхъ моложе, но тоже попали въ бурлаки и получили по 30 коп. денегъ. Цѣлую недѣлю кутили бурлаки до тѣхъ поръ, пока не издержали всѣ деньги. Да и промысловые рабочіе то и дѣло подговаривали простаковъ на выпивки и угощались на ихъ счетъ сами. Но когда у бурлаковъ не стало денегъ, рабочіе два вечера сряду угощали ихъ на свой счетъ,—за что промысловые рабочіе очень понравились бурлакамъ. Павелъ и Иванъ купили себѣ

лапти и валенки, а остальныя деньги проѣли на булкахъ. Одна только Матрена скучала, ея не приняли въ бурлаки. Она поступила работницей на варницу и содержала Пилу, Сысойка и дѣтей.

Три съ половиной недѣли бурлаки ждали приказчика. Въ это время они хотѣли уйти, но ихъ отговаривали промысловые рабочіе тѣмъ, что теперь уже нельзя, такъ какъ получены ими задатки. Большая часть ихъ работала на пристаняхъ, у барокъ и у варницъ, и только небольшими заработками они пробивались въ селѣ.

Наконецъ, пріѣхалъ приказчикъ. Онъ пересчиталъ всѣхъ крестьянъ, записалъ ихъ снова, показалъ имъ паспорта, взятые на полгода, выбралъ изъ нихъ четверыхъ въ лоцманы; далъ всѣмъ, кромѣ лоцмановъ, по рублю денегъ, а лоцманамъ по три рубля; велѣлъ идти въ заводъ. Уладивши все съ крестьянами, приказчикъ уѣхалъ.

Приказчикомъ было нанято еще болѣе ста человѣкъ, только на самыхъ мѣстахъ, въ селахъ и деревняхъ Вятской губерніи.

Всѣ крестьяне, накупивъ по двѣ пары лаптей, по три ковриги хлѣба, соли, наѣлись на ночь сытныхъ щей, крѣпко уснули, а утромъ, вставши до свѣту, закусили крѣпко на дорогу, увязали плотнѣе свои котомки, собрались за селомъ и тронулись въ путь.

Матрена долго слѣдила за подлиповцами. Идутъ они, идутъ въ большой толпѣ... вонъ Ванька да Пашка оглядываются и утираютъ слезы... Не взяли Матрену! заплакала она и ушла въ варницу... Одинъ только Тюнька не знаетъ теперь горя: онъ рано встаетъ съ маленькими хозяйскими дѣтьми, и какъ только встанетъ онъ да хозяйскія дѣти, и начинается у нихъ бѣготня да игры. Хорошо еще, что хозяйка, мастерская жена, добрая и есть съ кѣмъ Тюнькѣ порѣзвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни дѣтей ея, чтобы сталось съ Тюнькой и Матреной? Какъ бы она стала работать съ ребенкомъ? А работа ея такая: дрова она въ варницу таскаетъ, да изъ варницъ въ амбары соль на плечахъ по длинной лѣстницѣ носитъ. Трудная работа досталась Матренѣ...

II.

БУРЛАКИ.

И такъ, наши подлиповцы отправились бурлачить съ товарищами.

Всѣхъ шло сто тридцать одинъ человѣкъ. На подлиповцахъ такая же одежда, въ какой они были въ Чердыни и въ Усольѣ. На прочихъ товарищахъ или такая же одежда, какъ и у подлиповцевъ, или разнообразная: тутъ были полушубки изъ разныхъ шкуръ, большею частью распластанные, въ лохмотьяхъ, безъ заплатъ, или просто изорванныя сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всѣхъ разнообразныя шапки, хотя повсюду и одинаковыя: большія изъ шкуръ, или войлочныя на подобіе горшка; на рукахъ у каждаго рукавицы, или кожаныя, или изъ шкуръ, или шерстяныя; на ногахъ у каждаго лапти. У каждаго на спинѣ виситъ котомка съ хлѣбомъ, кое у кого съ разнымъ тряпьемъ. Ниже котомки болтаются по парѣ или по двѣ пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанялъ ихъ бурлачить: онъ не поскупился дать каждому задатокъ; не дай онъ денегъ крестьянамъ, какъ бы они пошли въ дальній путь безъ хлѣба и лаптей?

Всѣ они шли до сборнаго мѣста, т. е. до завода, цѣлыхъ три недѣли, и шли, какъ нѣкогда шли евреи по пустынѣ Аравійской, съ тою только разницею, что это были русскіе крестьяне, бѣжавшіе отъ своихъ семействъ. Шли они въ разсыпную по большимъ и проселочнымъ дорогамъ, узкимъ тропкамъ; плутали по цѣлымъ днямъ въ незнакомыхъ мѣстностяхъ; ругались, мерзли, дрались и даже раскаивались, что пошли.

Ихъ взялись вести четыре лоцмана, уже нѣсколько лѣтъ занимавшіеся бурлачествомъ и знавшіе всѣ станціи-пристани отъ Чердыни до Нижняго и отъ Билимбаевскаго завода до Перми; но у этихъ лоцмановъ не было согласія въ выборѣ дорогъ, каждый изъ нихъ жилъ въ разныхъ мѣстахъ зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедшись вмѣстѣ, каждый хотѣлъ идти по своей дорогѣ.

Вотъ, наконецъ, они согласились; всѣ крестьяне идутъ за ними. Идутъ они два часа, едва-едва переступая ногами, не торопясь, разговариваютъ, поютъ пѣсни грустныя, долгія и тяжелыя, а больше молчатъ. Проѣзжающіе заставляютъ ихъ сторониться, и кто изъ ста человѣкъ не успѣлъ своротить съ дороги, того ямщикъ хлещетъ витнемъ. Крестьяне ругаются, хохочутъ и лѣзутъ драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось отъ нихъ за витень, и крестьяне убили бы его, если бы не вступился почтальонъ и не разогналъ ихъ саблей. Всѣхъ забавятъ звонъ колокольчиковъ и шубы проѣзжающихъ баръ. Они сначала дивятся, потомъ хохочутъ. Всѣмъ какъ-то весело, и кто поотстанетъ отъ толпы, догоняетъ ее. Подлиповцы идутъ особой кучкой. Они увлекаются разговорами товарищей, ихъ хохотомъ, тѣшатся надъ выговоромъ татаръ и черекисовъ; собственныя несчастія они начинали уже забывать.

Но вотъ дорога дѣлится на двое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда таперь?—спрашивалъ одинъ лоцманъ.

— Нѣтъ, не сюда, а сюда, — говоритъ другой лоцманъ.

— Нако-ся! Таперь по этой, по лѣвой надо: тутъ село будетъ,—говоритъ третій.

— Эво! Што у те шары-те чѣмъ заволокло? Вотъ какъ подемъ по этой, по правой—тутъ и будетъ деревня, три и версты всего-то! — говоритъ второй лоцманъ.

— Молчи! Тебѣ баютъ—село, а ты баешь—деревня...

— Медвѣдь ты раменской!.. Тебѣ говорятъ — деревня... какъ войдемъ въ нее, и сворачивай на лѣво,—говоритъ четвертый лоцманъ.

— Да будьте вы прокляты, лѣшіе! Привычки у васъ нѣтъ, обычаю... Мы десять годовъ по эвтой дорогѣ хаживали. Черти вы, дьявольскіе! — ругается второй лоцманъ.

Остальные лоцмана задумались:—а что если онъ правду говоритъ?

— Смотри, не обмишурься... Право, знать эта дорога-то?—говоритъ первый лоцманъ.

Часть бурлаковъ (бывалые) пристаетъ ко второму лоцману и говоритъ:—А, батъ, дорога-то на лѣво! Веди!—Къ нимъ пристаетъ еще человѣкъ тридцать. Пристаютъ и остальные. Начинается брань безпощадная, крикъ...

— Что, братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете,—пошли... Мы восьмой годъ ходимъ, знаемъ...

— И я восьмой! и я шестой!..—кричатъ остальные путеводители.

— Ты веди толкомъ!—кричитъ Пила.

— А я уйду тожно!—кричитъ первый лоцманъ.

— Ну, и иди, чортъ! што присталъ?—кричатъ бурлаки.

— Ребя! валяй его!.. бей!..

Перваго путеводителя окружаютъ человѣкъ сорокъ. Онъ старается всѣхъ урезонить. Бурлаки не вѣрятъ. Остальные лоцмана-путеводители идутъ по лѣвой дорогѣ. За ними идутъ и прочіе. Попадается имъ крестьянинъ съ дровами. Онъ знаетъ, кто эти люди.

— Эй, братанъ! эта дорога на Чусовую?—спрашиваетъ крестьянина одинъ изъ лоцмановъ.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, тамъ и будетъ рѣка Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— Послѣзавтра будетъ.

— Ахъ, ты (слѣдуетъ непечатная брань), да вѣдь Яйва въ Каму бѣжитъ?

— А куды не то?.. Кама-то эво што!.. Вы бы и шли по Камѣ.

— А ништо, подемъ по Камѣ!—говоритъ одинъ лоцманъ.

— Ступай. Эдакъ мы скорѣе придемъ: тамъ еще будетъ Косва да Усва, а потомъ Чусова.

— Ну, и подемъ.

Тронулись по лѣвой дорогѣ. Пришли въ деревню. Ночевали. Утромъ тронулись въ путь по правой дорогѣ. Къ вечеру пришли въ эту же деревню... Ночевали. Утромъ пошли по лѣвой дорогѣ.

— Ишь ты, лѣшій!—ворчатъ бурлаки.—Да вѣдь мы были тутотка?

— Гдѣ, въ деревнѣ-то?

— Ну!

— Слѣпъ! Деревня-то совсѣмъ другая:—въ той семь домовъ, а въ этой восемь,—говоритъ одинъ лоцманъ. Бурлаки вѣрятъ и не вѣрятъ. Лоцмана спорятъ и все-таки идутъ вмѣстѣ всѣ. Наконецъ, пришли и къ Яйвѣ. Рѣка не широкая, покрытая льдомъ, занесеннымъ снѣгомъ.

— А это што?—спрашиваетъ Пила, указывая на пространство, занимаемое рѣкой.

— Это рѣка, баютъ,—отвѣчаютъ ему бурлаки.

— Кама?—спрашиваетъ Пила.

— Нѣту. Кама вонъ дѣ,—указывая рукой на сѣверъ, говоритъ бурлакъ. Пила дивится.

Всѣ стоятъ на берегу рѣки и спорятъ, какъ идти: направо по рѣчкѣ или налѣво.

— Мы, таперича, какъ подемъ налѣво, и Чусова будетъ,—говорилъ одинъ лоцманъ:—олонись я не былъ здѣся,—добавляетъ онъ.

— Ну, это ошшо тово оно...—говоритъ другой лоцманъ.

— Вотъ если бы таперича вскрылась рѣка, да барки бы если пошли, ну, и узналъ бы, въ кою сторону путь держать,—говоритъ первый лоцманъ.

Холодно. Всѣ спускаются на ледъ; всѣхъ продуваетъ вѣтеръ. Идутъ кто направо, кто налѣво, кто за рѣку. Всѣ тонутъ въ снѣгу и ворчатъ.

— Да вы ладомъ ведите! По Яйвѣ-то никто не бурлачитъ, и мы въ Яйвѣ-то ни разу не шли, а переходили только,—ворчитъ одинъ бурлакъ. Лоцмана ведутъ всѣхъ узенькой дорожкой, попавшейся за рѣкой. Бурлаки радуются. Пришли въ деревню къ вечеру. Поѣли, выспались, утромъ тронулись въ путь. День шли хорошо, пѣли пѣсни или молчали. Къ нимъ пристало нѣсколько зырянъ.

Увидѣвъ кучу бурлаковъ, зыряне спросили:—Кыдче мунанъ *)?

— Бурлачить!—было отвѣтомъ. Зыряне пристали.

Въ толпѣ были тоже зыряне и между ними завязался разговоръ.

— Илыся локъ тысь **)?

— А Ежва, кырнышъ ***).

Опять попалась рѣка. Бурлаки обрадовались.

— Вотъ она, Чусова-то!

— Вре! Экая махонькая?

— Эта, братцы, не Чусова, а Косва. Тамъ еще будетъ Усва, вотъ по той мы и пойдемъ въ Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли рѣку и тихимъ шагомъ пошли за своими путеводителями. На третій день послѣ перехода Косвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дорогѣ; ладно. Вдругъ дорога раздѣлилась на три части. По которой идти? Лоцмана забыли.

Всѣ стоятъ.

— По этой?

— Нѣтъ, по этой.

— Знаешь ты черну немочь! По этой...

Лоцмана дерутся. Ихъ окружаютъ бурлаки.

— Бей ево!.. Вотъ такъ!.. ну-ко, ошшо!..—слышится со всѣхъ сторонъ.

Одинъ лоцманъ убѣжалъ по лѣвой дорожкѣ. Его пошелъ догонять другой лоцманъ. Половина бурлаковъ идетъ за этими лоцманами. Два оставшіеся лоцмана уговариваютъ остальныхъ бурлаковъ идти за ними.

— Пусть они идутъ по той! Ужъ такъ-то ли заблудятся, эво какъ!—говоритъ одинъ лоцманъ.

— Ну, а ты и веди, коли мастеръ, а я пойду съ нимъ...—говоритъ другой лоцманъ.

— И чортъ тебя бей! А мы какъ разъ дойдемъ и по своей...

Бурлаки совѣтуются, какъ имъ идти.

---

*) Куда пошли?
**) Издалека шли?
***) Рѣка Вычегда называемая зырянами Ежевой. Кырнышъ—ругань.

— Тѣ поди ладно идутъ, а мы-то какъ?

— Пойдемъ тожно съ нимъ.

Однако лоцмана ведутъ своихъ товарищей по той дорогѣ, по которой ушла недавно половина бурлаковъ. Прошли съ версту, а тѣхъ бурлаковъ не видать. Прошли они двѣ дороги, наконецъ на третью свернули и пошли.

— Куды же тѣ-то побѣгли?

— Черти...—ворчатъ лоцмана.

— Надо бы намъ поворотить по той дорогѣ, что впервые попали.

— Кто ево знатъ... И мѣста все другія, ни разу не былъ здѣся.

— И я тоже.

Вотъ подошли они къ большому полю. Дорогу загнело снѣгомъ: вѣтеръ сильный, рѣзкій. Бурлаки ругаются и идутъ по полю, оставляя за собой слѣды большими зигзагами. Идутъ они часъ, все нѣтъ конца. Что за чортъ? ворчатъ бурлаки. Ихъ обуяла лѣнь... Идти не хочется, а хочется попасть. Останавливается одинъ бурлакъ, за нимъ останавливаются всѣ. Садится одинъ на снѣгъ, всѣ садятся... Развязываетъ котомку одинъ, всѣ развязываютъ свои котомки.

— Подемъ назадъ!—кричитъ одинъ.

— Айда!—кричатъ двадцать человѣкъ.

— Баялъ, не ходи съ нимъ!..—ворчитъ Пила.— А пошто назадъ-то?

— А пошто? А подемъ...—было отвѣтомъ.

— Братцы, пойдемте, ночь поди скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты веди, песъ!—кричитъ Пила.—Куда ты завелъ въ эку чучу!

— Пырни ево! пырни!—кричатъ бурлаки на лоцмана.

— Пойдемте! право, скоро конецъ, за этимъ полемъ и конецъ.

— Помремъ!—говоритъ Пила.

— Не помремъ, а рѣка будетъ. А назадъ подете, заблудитесь.

— Ну, и подемъ. Ужъ много шли, ишшо подемъ,— говоритъ Пила. Всѣ идутъ. Посыпалъ снѣгъ, вѣтеръ стихъ. Снѣгъ залѣпляетъ глаза, только и видно, что снѣгъ да товарищей, а что кругомъ товарищей — Богъ вѣсть. Бурлаки злятся, смотрятъ на свою одежду, она въ снѣгу, словно въ мукѣ купались. Всѣ устали.

— Ребя, вонъ лѣсъ!—кричитъ одинъ изъ толпы. Всѣ повеселѣли. Бродятъ около лѣсу и блуждаютъ. Отыскали дорогу, къ ночи спустились подъ гору и подъ горой уснули. Закусивши утромъ, опять идутъ, дорога опять дѣлится на двѣ дороги. Просто чортъ знаетъ, что̀ такое.

— Ну ужъ и времечко! Прежъ, какъ подешь, и конецъ скоро, а теперь сколь исходили... — говоритъ одинъ лоцманъ.

— Отъ тово все, што не такъ пошли. Говорилъ, надо трактомъ идти, а то мало ли дорогъ-ту!— ворчитъ другой лоцманъ.

— Экіе лѣшіе, куды завели. Все лѣса, да лѣса, да горы какія-то. Эвонъ гора-то, чучела какая— ворчатъ бурлаки.

— А мы подемъ на гору-то? Тамъ поди баско!— говоритъ Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Тамъ теперь видимо-невидимо медвѣдевъ засѣло,—замѣчаетъ Пила.

— Што медвѣди, волки поди стерелешиваютъ... *) Ужасти!—замѣчаетъ бурлакъ.

— А што, батъ, здѣсь поди много медвѣдевъ?

— Столько—бѣда!

— Вре?

— Видалъ ономеднись. Стадо цѣлое.

— Вре?.. И не съѣли?

Бурлакъ-хвастунъ, не бывшій никогда въ этихъ мѣстахъ, улыбается и того больше вретъ.

— Какъ хватилъ коломъ, вонъ эдакимъ, одного— и издохъ, другого хватилъ — побѣжалъ, и тѣ побѣжали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговоръ идетъ о медвѣдяхъ, кто сколько на своемъ вѣку медвѣдей убилъ. Всякій старается перебить товарища разсказомъ; кто вретъ, кто говоритъ правду. Больше всѣхъ вралъ Пила.

— Ты вотъ по-моему сдѣлай,—говорилъ онъ.— Одново раза лѣтомъ иду, знашь, лѣсомъ: а лѣсъ-то эво! не здѣшній, иное дерево и не охватишь, выше этова, густо... А со мной, знашь, ломъ былъ. Ну, иду да собираю грибы... Собиралъ такъ-ту, много набралъ. Баско! и нашелъ на медвѣдя, спитъ... А медвѣдь-то эво какой! Такихъ въ-первой увидѣлъ. Вотъ я, знашь, на цыпочкахъ и побѣгъ къ нему и хлопъ его по башкѣ... и хлопъ!.. И пику не далъ!..

— Да онъ поди издохлой какой?

— Издохлой!.. Какъ бы не такъ! А пошто я ево хлеснулъ?..

— Значитъ, ты слѣпъ былъ, или другое что... можетъ спугался?

— Ну ужъ, кто другой спугатся, а я шабашъ!

— Да онъ поди, медвѣдь-то, мухомора обтрескался!

— Сказано—убилъ! кричитъ Пила, сердясь.

— Знамо издохлова.

— Поговори ты, собака!

Бурлаки хохочутъ и дразнятъ Пилу. — Знамо издохлова медвѣдя убилъ.

— А што, если таперь медвѣди прибѣгутъ?

— Сюды-то?

— Ну... съѣдятъ насъ, али нѣтъ?

— Ну, таперь шабашъ. Насъ то эво сколь. Какъ закричимъ и прогонимъ, и чортъ его не догонитъ...

— И топоровъ-то ни у кого нѣтъ.

— А мы закричимъ. Побѣжитъ...

Пришли они въ деревню. Въ деревнѣ сказали имъ, что они не въ ту сторону идутъ къ Чусовой. Пошли опять бурлаки назадъ отыскивать настоящій путь. Опять сбились съ дороги. На другой день встрѣтились съ толпой другихъ бурлаковъ.

— Вотъ они, лѣшіе! — сказали обрадованные наши бурлаки.

— Это не тѣ, другіе.

— И то.

— А вы откедова?

— Вячки.

— Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча! —сострилъ одинъ молодой бывалый бурлакъ.

---

*) Бѣгаютъ.

Эти бурлаки знали дорогу лучше нашихъ бурлаковъ, и всѣ скоро добрались до Чусовой.

Рѣка Чусовая была уже оживлена въ это время. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ, на льду и на низкихъ берегахъ ея, на поляхъ строились барки и полубарки; воздухъ оглашался стукомъ топоровъ, крикомъ крестьянъ. Подлиповцы съ товарищами пошли берегомъ. Здѣсь идти имъ было весело: вездѣ народъ, есть съ кѣмъ и слово перемолвить, есть кого и спросить, куда идти и далеко ли еще, и народъ такой добрый. Рѣка въ этомъ мѣстѣ узка; по обѣимъ сторонамъ ея или высокіе крутые берега, съ нависшими деревьями и скалами, или съ одной стороны крутой берегъ—гора, а съ другой низина, поле. Въ мѣстахъ, гдѣ крутые берега съ обѣихъ сторонъ, было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки разсказывали разные ужасы и страхи.

— Вишь, эта гора-то какая, матушка! А бѣдъ отъ нея много бываетъ... Вотъ она теперь ровно впереди, а какъ подемъ, она угломъ будетъ, ровно кто топоромъ обрубилъ... Тутъ бѣда баркамъ. Какъ поплыветъ это барка и хлобыснется о гору, такъ ее и шарахнетъ, а мѣсто бѣда, баютъ,—дна нѣту.

— Баютъ, тутъ сидитъ кто-то. Чортъ не чортъ, а ужъ больно сердится. Баютъ, у него въ лапахъ-то стресоглазка.

— Что сидитъ! Коли сидѣлъ бы—словили; нынче, баютъ, начальство строго. Вотъ таперича штуки подѣлали, штобы намъ ловко было плыть. А безъ эвтихъ штукъ бѣда была, потому рѣка ужъ такая бурливая, да камней въ ней много, — говорилъ одинъ лоцманъ.

— Экая гора-то! Ахъ ты, какая высь!—дивятся бурлаки.

— Вотъ гдѣ мы идемъ!—говоритъ весело Пила.— Экъ баско! А тамъ поди ишшо лучше.

Въ этихъ мѣстахъ имъ приходилось идти даже ночью, потому что не было не только-что деревень, даже людей, кромѣ ихъ, и ни одной барки. Здѣсь имъ казалось страшно: они боялись не медвѣдей, а чего-то иного. Впереди, позади, — кругомъ все горы, а въ верху небо черное и звѣздъ не видать.

— Ребята, тихонько иди. Смотри, полонья, — говорилъ кто-нибудь.

— Да мы бы спать.

— Ну, нѣтъ. Смотри, какія богородни стоятъ вонъ тамъ. Кое-ва-дни такія же были...

Въ лѣвой сторонѣ видится что-то бѣлое, большое такое. Немного выше — не то церковь, не то кто его знаетъ, что такое. И такихъ видовъ много. Бурлаки боятся подойти. «Убьетъ!» говорятъ они и дѣлаютъ отъ такихъ мѣстъ большіе круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а прежде, баютъ, ужасти бывали! Вонъ, сказываютъ, жилъ здѣсь Ермакъ, атаманъ-разбойникъ, людей убивалъ, бѣда!.. Онъ, сказываютъ, Сибирь въ полонъ взялъ,—разсказывалъ лоцманъ.

— Все одинъ?

— У него сила была огромнѣющая. Люду сколь было, все разбойники...

— А онъ таперь гдѣ?

— Померъ, сказываютъ... Сказываютъ, утонулъ.

— Вре! А онъ поди спрятался тамъ на горѣ-то?

— Сказываютъ, потонулъ! У него, слышь, зипуна-то не было, а онъ желѣзо носилъ.

— Пра?! Вотъ дакъ сила!.. Какъ хлобыснетъ, и помрешь?

— Ну ужъ, онъ сидитъ поди таперь, смотритъ шарами-то. Это, смотри, не онъ ли—экой высокой да бѣлой, ишь какъ усторился *)!..

— Это дерево, а то вонъ камень выдался.

— Ну ужъ, не ври, это онъ... Подемъ, поглядимъ?

— Ну-ко поди, онъ тѣ задастъ! Какъ пырнетъ камнемъ-то!..

Бурлаки дали кругъ. И долго толковали бурлаки объ Ермакѣ, не зная его, а только наслышавшись о немъ отъ бурлаковъ же.

Наконецъ кончился ихъ путь. Они пришли къ заводу.

На берегу было множество крестьянъ: кто пилилъ бревна, кто рубилъ, кто строгалъ, кто гвозди и скобки вбивалъ; достраивались барки, коломенки и полубарки. Подлиповцевъ и прочихъ бурлаковъ сосчитали, повѣрили и выдали имъ по десяти коп. денегъ. Купили они хлѣба, надѣли новые лапти, взяли господскіе топоры, желѣзныя лопаты и прочіе необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипѣла. Каждый человѣкъ что-нибудь да дѣлалъ, и если кто не умѣлъ топоромъ, то гвозди вколачивалъ, снѣгъ отскребалъ или доски таскалъ. Кажется, барку нехитро сдѣлать, а нашимъ бурлакамъ больно мудреною казалась эта штука. Они не могли надивиться, какъ это такая штука состроена? съ которой стороны ни подойди, вездѣ гладко, только желѣзки какія-то вбиты, и вся изъ досокъ сдѣлана да бревенъ. — «Вонъ у насъ избенки-те не такъ дѣлаютча, какъ хошь, такъ и перевернешь бревно и приладишь, а тутъ все инако. И куда экая чучела? домъ не домъ, а кто ее знаетъ; куда она годна?.. Дай мнѣ — не возьму. Пра, не возьму!»..

На бурлаковъ кричали мастера:

— Что стоишь: робь! Деньги только даромъ берете, разбойники!

Бурлакъ почешетъ одинъ бокъ, спину и пойдетъ съ топоромъ къ баркѣ. Что̀ ему дѣлать? Вотъ онъ видитъ, лежитъ доска. Баская доска-то, да вѣрно робить велятъ, и бурлакъ начинаетъ рубить доску безъ цѣли, а такъ, думая, что и онъ робитъ.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебѣ!.. — кричитъ на бурлака мастеръ или работникъ.

Бурлакъ отходитъ отъ доски и глядитъ на прочихъ.

— Что сталъ? Робь!

— Да што робить-то?

— Што! Подь, обтеши бревно... У, лѣнтяи! скоты! и т. д.—И пойдетъ бурлакъ рубить бревно и изрубитъ его такъ, что оно на дрова годится.

---

*) Долго и строго смотритъ на одинъ предметъ.

— Ахъ вы, безтолочь!.. Я васъ!.. Поди, притяни доску.

Одинъ бурлакъ не совладаетъ, онъ и взять не умѣетъ доску, съ котораго конца ее приложить; вотъ и возьмутся человѣкъ шесть-семь держать доску.

— Ладь, ладь! Што стали!

Бурлаки прилаживаютъ.

— Не такъ!.. Сюды!!

Бурлаки смотрятъ на доску. Доску берутъ еще человѣкъ пять. Доску приладили.

— Напри брюхомъ!

Наперли всѣ разомъ и такъ сильно, что потъ ихъ пробираетъ, и имъ баско кажется.

Такъ и кипитъ работа. Всѣ бьются до поту и не могутъ понять, что они такое робятъ и къ чему эдакая работа, больно ужъ баская да чудная.

Работаютъ они каждый день, бахвалятся, что и они робить мастера, а не понимаютъ своей работы. Чувствовать имъ нечего: имъ или баско, или худо; о своихъ деревняхъ они забыли, съ людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда: то рубить, то скоблить, то колотить... Всталъ рано, ѣсть хочется—чувство, поробилъ, ѣсть хочется—чувство, спать хочется—чувство...

О Пилѣ и Сысойкѣ сказать особеннаго нечего. Они точно такіе же были, а пожалуй и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленькихъ подлиповцевъ, Павла и Ивана, было больше способностей, чѣмъ у старшихъ. Они, конечно, не могли сдѣлать больше взрослаго, окрѣпшаго мужчины, но понимали, какъ и къ чему такая-то вещь слѣдуетъ и какъ, что и для чего дѣлается. Занятіе ихъ было обдѣлывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа имъ такъ казалась хорошей, что они, если ея не было въ одномъ мѣстѣ, шли въ другое и тамъ отгоняли рабочихъ отъ несвоего дѣла.

Теперь отецъ для Павла и Ивана былъ все равно, что и прочіе бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старшихъ у нихъ не было.

— Пашка! они всѣ свиньи,—говорилъ Иванъ.

— Всѣ. Они робить не умѣютъ.

— И тятька свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?.. А пошто?

Немного помолчавъ, они опять спрашиваютъ другъ друга, свиньи они или нѣтъ; кажется, свиньи, а равно и нѣтъ: «свиньи-то эво какія! А мы воно какіе».

Откуда забралась въ ихъ головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчикъ ругалъ какъ-то бурлаковъ свиньями...

Съ бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обдѣливало деньгами, такъ что многіе голодали. У него, конечно, свои интересы, а надъ бѣднымъ бурлакомъ что хочешь дѣлай — смолчитъ или изругаетъ, а жаловаться не пойдетъ, да некому...

Настало тепло. Солнышко грѣетъ; снѣгъ съ каждымъ днемъ таетъ и таетъ; съ горъ бѣгутъ въ рѣку ручьи, на вершинахъ видится бурая земля. Барки уже сдѣланы, а бурлаки все еще работаютъ: кто весло дѣлаетъ, кто конопатитъ барки и полубарки, кто такъ себѣ рубитъ бревно; работа кипитъ вездѣ; цѣлыя двѣ тысячи бурлаковъ копошатся на берегу у барокъ, на баркахъ, на льду, въ рубахахъ, дырявыхъ и со множествомъ заплатъ; съ иныхъ потъ каплетъ.

Наступаетъ пора ѣды, бурлаки садятся кучками на барки или на обрубки бревенъ, на сломанныя доски, ѣдятъ хлѣбъ, прихлебывая щей съ капустой и дрянной говядиной, кто въ шапкахъ, кто безъ шапокъ. Солнышко такъ и грѣетъ ихъ, оно освѣщаетъ загрубѣлыя, желтыя лица бурлаковъ, и вообще какъ-то привѣтливо. Въ кучкахъ сидятъ преимущественно люди разныхъ названій: татары съ татарами, черемисы съ черемисами, подлиповцы съ подлиповцами и т. д., такъ что воздухъ оглашается разными нарѣчіями: лепечутъ бойко татары и черемисы, пришепетываютъ зыряне, кричатъ пермяки, выговаривая: поце? зацѣмъ? цуца, и т. д. За обѣдомъ всѣ кажутся веселы: каждому, утомленному работой, любо, что солнышко свѣтитъ и грѣетъ баско, и онъ долго смотритъ на солнышко, до тѣхъ поръ, пока не заболятъ глаза, и думаетъ какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день такъ свѣтитъ? когда и вовсе его нѣтъ, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поѣвши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже лѣнивѣе утренняго; хочется полежать. Вечеромъ всѣ собираются на барки, сидятъ кучками и толкуютъ больше о бурлачествѣ; сидятъ долго, думаютъ, скоро ли они перестанутъ робить; когда будетъ такая пора, когда они все такъ будутъ сидѣть... Потомъ начинаютъ пѣть свои пѣсни, каждый на своемъ языкѣ, и поютъ они долго, долго, не понимая сами смысла пѣсни, а хорошо имъ кажется и сердце ноетъ, кого-то жаль, хочется чего-то... Тутъ есть и музыканты: тѣ разгоняютъ свою тоску, играя на гармонійкахъ и балалайкахъ какія-то веселыя пѣсни. Но и тутъ не весело: поиграетъ, поиграетъ бурлакъ, отдастъ инструментъ другому, а самъ пристанетъ къ другимъ и поетъ съ ними. Одни только татары да зыряне какіе-то чудные: они, какъ кончатъ работу, и ложатся спать, какъ будто имъ не нравится общество остальныхъ людей. Днемъ они иногда поютъ по одиночкѣ или голосовъ въ шесть, такъ надъ ними бурлаки смѣются—больно ужъ забавно поютъ, талалакаютъ на своемъ языкѣ. Умаявшись, надравши горла, бурлаки идутъ спать въ пустыя барки: положивъ подъ голову котомку съ имуществомъ, чашкой, ложкой, лаптями, бурлакъ растягивается на полу; и какъ легъ, такъ и уснулъ...

Становилось все теплѣе и теплѣе. Снѣгъ почти весь стаялъ. Ледъ покрылся водой. Барки уже совсѣмъ отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берегъ, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе къ берегу, стали грузить ихъ желѣзомъ и чугуномъ. Воздухъ наполнился крикомъ, руганью, стукомъ, трескомъ, звукомъ отъ желѣза; бурлаки суетились, бѣгали, тащили полосы и листы желѣзные, кряхтѣли, потѣли... На нихъ кричали приказчики, лоцмана, показывая, куда что нужно класть. Наконецъ барки, коломенки и полубарки

наполнены, поносныя, весла, канаты, шестики, доски, бревна и разныя разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаковъ распредѣлили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакамъ до Елабуги назначили 8 рублей, до Сарапула 9, до Волги 10, до Саратова 14 за сплавъ. Всѣмъ заказано быть на-готовѣ. На каждой баркѣ было по одному и по два лоцмана, по два водолива. Каждому было наказано, что дѣлать, гдѣ стоять. Дѣлать нечего, а бурлаки все что-нибудь да дѣлаютъ: то поносную потешетъ топоромъ, да пообрубитъ весло, то увидитъ на боку барки дыру, выстрогаетъ дощечку, прибьетъ и законопатитъ, а то еще дранку на скобки прибьетъ. И сколько на этихъ баркахъ заплатъ! Хотя онѣ и новыя, а все какъ-то кстати приладилось: и сами онѣ въ заплатахъ, и рабочіе на нихъ тоже съ заплатами носятъ одежду. Барки приладились, нумера на нихъ написали,—первую букву завода на кормѣ выжгли, воткнули въ столбъ на носу палочку съ маленькимъ флагомъ. Среди коломенокъ и барокъ точно барыни какія красуются три большія коломенки-караванки съ мачтами, съ разноцвѣтными кружками на верху мачтъ и съ флагами, на которыхъ красуется названіе завода. Бурлаки большею частью отдыхаютъ, поютъ пѣсни, ѣдятъ и поглядываютъ на другія барки, и въ особенности на караванки, на коихъ, сказываютъ, поплывутъ набольшіе, кои бурлаковъ приняли, да, баютъ, ошшо палить станутъ. Бурлаки получили по полтора рубля денегъ, ходятъ по заводу, покупаютъ хлѣба, мяса, больше луку свѣжаго; нѣсколько человѣкъ купили балалайки. Въ баркахъ и на берегу варятъ въ большихъ котлахъ говядину, брюшину, баранину и ѣдятъ дружно. Накопившіе рубля три денегъ покупаютъ въ заводѣ у рабочихъ чугунки, сковородки, сковородники, утюги и разныя вещи очень дешево и тащутъ въ барки. Даже собираютъ бросовое желѣзо, валяющіеся гвозди, скобки—все пригодится, можетъ быть, кто и купитъ.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не живали въ такомъ большомъ обществѣ людей своей братьи, и другъ другу сообщали свои чувства.

— Вотъ, значитъ, я сила. Не я бы, такъ што было бы съ вами? — говорилъ Пила своимъ товарищамъ.

— Ужъ што говорить!—откликались Пилѣ товарищи.

— Ошшо не то сдѣлаю.

— Все бы Апроську надо, — говоритъ Сысойко печально.

— Надо бы...—И Пила задумывается.

— А пошто здѣсь бабъ нѣту?—спрашиваютъ другіе подлиповцы.

— А кто ихъ знатъ!.. Да што бабамъ-то дѣлать?.. Все сробили.

Всѣ они ждали той поры, когда они поплывутъ, и говорили объ этомъ предметѣ каждый по своему разуму.

— Вотъ теперь какъ барка-то стоитъ и зашевелится, побѣжитъ, баютъ, и не догонишь; а мы ее пехать будемъ весломъ-ту,—разсуждаетъ Пила.

— А куда побѣжимъ?

— Куда... Знамо куда...—А куда—Пила не можетъ объяснить.

— Какъ же мы теперь побѣжимъ? Смотри, сколь желѣза-то накладено, а насъ-то сколь?.. спрашиваетъ Сысойко.

— Ужъ побѣжимъ.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди лошадь запрегутъ?

— Баютъ, водой поташшитъ.

— Экой прыткой!.. А какъ да насъ запрегутъ?..

— Толкуй съ дуракомъ!..

Каждый вечеръ былъ какимъ-то праздникомъ на баркахъ: выпившіе водки плясали, тысячи бурлаковъ пѣли, въ разныхъ мѣстахъ кричали, гдѣ-нибудь нѣсколько бурлаковъ все еще рубятъ что-то. Все это веселитъ подлиповцевъ.

— Надо бы Матренку взять. Вотъ бы поглядѣла курва!—думаетъ Пила и говоритъ объ этомъ Сысойку. Сысойко вздыхаетъ объ Апроськѣ, потомъ плюетъ и говоритъ:—«Ну ихъ къ лѣшимъ!»

— Ну ужъ, мы теперь назадъ не пойдемъ,— говоритъ Пила.

— Такъ и будемъ робить, — соглашается съ Пилой Сысойко.

Многіе бурлаки курятъ махорку изъ глиняныхъ трубокъ съ коротенькими чубуками.

Пила тоже завелъ трубку и постоянно куритъ махорку съ Сысойкомъ. Сначала ихъ тошнило, а потомъ они втянулись. Для чего они курили,—не знали, а такъ, завидно стало: прочіе бурлаки курятъ, да и баско, веселѣе ровно, какъ покуришь.

Отъ береговъ отъѣло ледъ, и онъ готовъ тронуться, какъ только прибудетъ вода. Барки прикрѣпили канатами за сваи, вбитыя въ землю. Вотъ пустили изъ заводскаго пруда воду; вода съ силой вырвалась изъ своего заключенія, быстро, большою массою хлынула изъ плотины и пошла катать: все, что было по пути, неслось водой. Вотъ бросилась вода въ рѣку, сначала покрыла ледъ, потомъ ледъ поднялся, треснулъ, заколыхался... Вода все больше и больше прибываетъ, а ледъ то и дѣло ломаетъ, вертитъ словно въ омутѣ. Бурлаки стоятъ съ разинутыми ртами на баркахъ, на берегу тысячи заводчанъ... съ берегу слышны крики.

— Тронулся... тронулся! — Многіе бросали въ рѣку мѣдныя монеты.

Но ледъ только кружится, чернѣетъ.

— Пошелъ, пошелъ!—кричитъ народъ.

Дѣйствительно, рѣка на большое пространство очистилась. Ледъ впереди все болѣе и болѣе напиралъ на берега, трещалъ, ломался и наводилъ на бурлаковъ ужасъ до того, что нѣкоторые изъ нихъ крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла Христовая... — кричитъ народъ и кидаетъ въ нее грошики.

— Нѣтъ ли у те копѣйки?— спрашиваетъ дѣвица свою подругу.

Подруга даетъ ей копѣйку, она кидаетъ ее въ рѣку и что-то шепчетъ.

По мѣстному понятію, при вскрытіи рѣки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть въ ней.

Ни одного бурлака не было такого, который бы не радовался въ это время. Всѣ были заняты вскрытіемъ рѣки, какъ точно дождались свѣтлаго праздника. Рѣка шумѣла, издали слышался трескъ и какой-то гулъ, бурлаки кричали.

— Смотри, какъ льдину-то шарахнуло!

— Гли, что діется! Экъ ее раскололо!..

— Смотри, шитикъ тащитъ!

— Зѣвай! Лови поносную!.. Черти!

— Я васъ, я васъ! што глазѣете!.. Пехай льдину, пехай.

Съ этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало по малу вода подходила къ баркамъ, и на третій день всѣ барки стояли въ водѣ. Крикъ, бѣготня, стукотня не умолкали.

— Спехивай барки! спехивай! Что стали? — кричали лоцмана.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не такъ, съ этого конца!

— Канатъ опусти!

— Вяжи... Заматывай, дьяволъ!.. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе къ рѣкѣ, и, наконецъ, были уже въ ней.

— Сто-ой!.. Ахъ, вы лѣшіе!.. брось чалку на энту барку!

— Цѣпи!.. што ротъ-то разинулъ!.. Да подай ты, лѣшій, веревку!

Бурлаки метались на баркахъ и на берегу. Все изъ ихъ рукъ валилось.

Подлиповцы были на берегу. Ихъ очень удивило, что барки такъ скоро попали въ рѣку, и удивлялъ переходъ отъ льда къ водѣ. Все былъ ледъ, а теперь нà вотъ! Ишь, сколь воды-то!..

Въ каждой баркѣ была уже вода.

— Откачивай воду! живо! — кричатъ лоцмана въ одномъ мѣстѣ.

— Чини барку!—кричатъ въ другомъ мѣстѣ.

Павелъ и Иванъ назначены въ водоливы. Стоятъ они въ баркѣ другъ противъ друга и большимъ черпакомъ, привязаннымъ веревкой за потолокъ барки (палубу), помахиваютъ, какъ очепомъ, и выливаютъ имъ воду въ отверстія, сдѣланныя на бокахъ барки.

Ледъ шелъ уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерамъ: куда это ледъ идетъ? И порѣшили на томъ, что идетъ куда-то въ море-окіянъ. Съ верху стали приплывать барки все больше и больше. Теперь было уже до ста барокъ, и на каждой отъ 50 до 80 человѣкъ бурлаковъ.

Черезъ три дня, какъ прошелъ ледъ, бурлакамъ опять нечего дѣлать. Большая часть лежала на баркахъ, суша онучки на солнышкѣ, или ходили въ заводъ за хлѣбомъ. Всѣ чего-то ждали, чего-то боялись, хотѣли скорѣе плыть, разсказывали разные страхи. Сысойко и Пила съ дѣтьми попали на коломенку. Эта коломенка, какъ и другія коломенки, построена изъ сосноваго лѣсу, имѣла плоское дно, которое къ кормѣ и носу постепенно суживалось, и имѣла палубу.

Пила и Сысойко смѣняли Павла и Ивана, когда имъ нечего было дѣлать или надоѣдало лежать. Была ли то привязанность къ ребятамъ, жалость къ нимъ, или желаніе поробить — рѣшать не берусь. Только Пила сильно начиналъ надоѣдать лоцману своими услугами. Скажетъ лоцманъ бурлакамъ: «подтяните поносную!» Пила летитъ со всѣхъ ногъ къ поносной, Сысойко тоже за нимъ, и примутся оба за поносную. Лоцманъ видитъ, что они и взяться то не умѣютъ какъ слѣдуетъ, обругаетъ ихъ. Пила спрашиваетъ: «А ты, скажи, какъ?».. Велитъ лоцманъ какому-нибудь бурлаку сбѣгать на другую барку за чѣмъ-нибудь, Пила опять бѣжитъ отъ работы.

— Ты куды! Ты знай свое дѣло! — говоритъ лоцманъ.

— Сдѣлаю то и то...—говоритъ Пила и идетъ на другую барку.

Лежитъ лоцманъ въ коломенкѣ на желѣзѣ и думаетъ что-то, смотря на ребятъ, откачивающихъ воду: Пила и Сысойко гонятъ ребятъ.

— Подь, чучело! И тутъ робить не умѣешь.

— Вотъ умѣешь!.. Пусти!—кричитъ Иванъ.

— Дурень, подь побѣгай... — говоритъ Пила Ивану. А ребятамъ давно хочется погулять.

— Не трогъ! Што присталъ къ нимъ? Знай свое дѣло,—облаетъ Пилу лоцманъ.

— Экой ты, Терентьичъ! Мальчонкамъ-то трудно вѣдь.

— Мало ли что! взялся за гужъ, будь дюжъ.

— Да парни-то родные.

— Мало ли, что родные. Знамъ мы родныхъ-то, кто съ борка, кто съ веретейки...

Пила и Сысойко откачиваютъ воду. Покачаютъ, покачаютъ, спины заболятъ, сядутъ и ждутъ, чтобы скорѣе лоцманъ ушелъ, и имъ бы лечь поспать..

— Качай, што стали!

— Да мы такъ...

— Я тѣ дамъ, такъ!..

Этотъ лоцманъ—заводскій человѣкъ и уже четырнадцатый годъ бурлачитъ по Чусовой и Камѣ, лоцманомъ служитъ шестой годъ и знаетъ всѣ опасныя мѣста на рѣкахъ, за что и получаетъ хорошее жалованье. Лоцманъ на баркѣ или на коломенкѣ — глава; безъ него ничего не подѣлаешь. Лоцманъ отвѣчаетъ за цѣлость барки, казеннаго имущества, здоровье людей,—однимъ словомъ, онъ долженъ въ цѣлости сдать то, что принялъ. Поэтому не удивительно, что лоцманъ обращается со всѣми, какъ ему вздумается.

Вотъ къ этому-то человѣку и старался втереться Пила, понравиться, для того, чтобы ему лучше было. Онъ понялъ, что всѣ его товарищи-бурлаки—такіе же люди, какъ и онъ, что отъ нихъ ничего не получишь хорошаго, а еще наживешь худа, пожалуй лоцманъ возьметъ да и прогонитъ, какъ прогналъ шестерыхъ бурлаковъ за то, что они стащили ночью съ барки двѣ полосы желѣза.

Лоцманъ же, бывши самъ бѣднымъ бурлакомъ, всѣхъ считалъ равными себѣ, зналъ нужду кажда-

го, не налегалъ ни на кого слишкомъ работою и требовалъ только, чтобы всѣ исполняли свое дѣло, какъ слѣдуетъ. Одно только въ немъ было скверно: зная, какъ и что сдѣлать, онъ хотѣлъ, чтобы всѣ такъ дѣлали и дѣлали живо.

Чтобы больше втереться къ лоцману, Пила сталъ ему наговаривать на бурлаковъ.

И дѣйствительно, лоцманъ по вечерамъ сидѣлъ съ подлиповцами, разспрашивалъ ихъ объ родинѣ и самъ разсказывалъ имъ свои дѣлишки.

— Вотъ ты пошелъ теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будетъ. Я, братъ, тоже прежде мыкался такъ-ту, да поправился. Трудно было; зато теперь любезно поживаю: въ заводѣ баба, лѣтомъ весело.

Пила слушалъ ротъ разиня.

— Какъ походишь годовъ десятокъ, и самъ будешь лоцманъ.

— А таперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь ли, что за штука лоцманъ?

— Э!

— Точно. Возьмешься ты за это дѣло и покаешься. Вотъ таперь Чусовая. Ужъ я знаю все, гдѣ какое мѣсто опасное, а кто ево знаетъ, что случится? Вдругъ какъ коломенка-то разобьется, ну, и потонетъ. А я отвѣчай... Дура!

Пила не понималъ, какъ можетъ потонуть коломенка. Лоцманъ растолковалъ ему.

— Эко дѣло! Научи ты меня, Терентьичъ!— говорилъ Пила.

— Вотъ и учись. Ты стой возлѣ меня. Я тебя заставлю поносной водить.

— Ужъ ты и Сысойка заставь.

— И его заставлю. Только смотри, дѣлай, какъ я буду велѣть.

— Ужъ не бай!.. А ты, Терентьичъ, и ребятъ туды поставь.

— Ребятъ нельзя. Работа ихъ легкая. А имъ съ экимъ бревномъ валандаться неподходящее дѣло... Надо тоже и чувствіе имѣть.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй съ дуракомъ! Ты то пойми: што имъ здѣсь дѣлать-то? Какая у нихъ сила? Ишшо захвораютъ, горе будетъ съ ними.

— Ну, такъ и ладно.

Терентьичъ очень понравился Пилѣ, но Сысойко почему-то не взлюбилъ его.

Не долго постояли барки; не долго нѣжились и бурлаки. Надо же и плыть въ дальній путь... Поплывайте, добры молодцы, за богачествомъ. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для васъ все это.

Приказчики сосчитали всѣхъ бурлаковъ. Бѣглыхъ оказалось двадцать четыре человѣка. Барки были осмотрѣны старательно. Дали бурлакамъ по полтиннику денегъ и велѣли готовиться въ путь, а тронуться назначено завтра. Окончивъ повѣрку и осмотръ барокъ, приказчики сказали лоцманамъ: «Ну, ребята, завтра мы поплывемъ. Смотрите, берегите барки и народъ».

— Ужъ въ эвтомъ не сумнѣвайтесь, — было отвѣтомъ лоцмановъ.

— Ну, и ладно. А вы, ребята, бурлаки, во всемъ слушайтесь лоцмановъ. Если кто лѣнивъ окажется да буянить будетъ, того мы прогонимъ и денегъ не дадимъ.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли безъ шапокъ, переминаясь съ ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда въ Пермь приплывемъ, тогда получите половину денегъ сполна.

Бурлакамъ это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и такъ стоялъ и смотрѣлъ на приказчика, какъ будто говорилъ про себя: больно ты хорошъ человѣкъ, только не обидь бѣднаго человѣка...

Когда ушли приказчики, дѣятельность оживилась: лоцмана кричали на бурлаковъ, бурлаки бѣгали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки къ отплытію. Вечеромъ, накупивши въ заводѣ хлѣба и лаптей, всѣ бурлаки загуляли—пропили свои трудовыя деньги. Вечеромъ въ заводѣ было большое веселіе: у бурлаковъ много было знакомыхъ изъ рабочихъ, и они теперь угощали ихъ за хлѣбъ-соль. Наши подлиповцы тоже были пьяны, даже Павелъ съ Иваномъ выпили косушку, и лоцманъ Терентьичъ тоже былъ пьянъ и бахвалился тѣмъ, что онъ лоцманъ не на баркѣ, а на коломенкѣ, и шесть лѣтъ благополучно проводилъ барки. Пѣсни и пляски стихли далеко за полночь, и многіе бурлаки вовсе не спали, потому что въ четвертомъ часу утра пріѣхало заводское начальство съ духовенствомъ. Священникъ отслужилъ молебенъ на караванкѣ, окропилъ барки водой; раздался выстрѣлъ, бурлаки дрогнули, а онъ глухимъ раскатомъ залился въ горахъ. Выскрѣлили съ караванки еще разъ, еще разъ, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!..—крикнулъ кто-то съ главной караванки.

Бурлаки бѣгали какъ угорѣлые по баркамъ, перебѣгали съ барки на барку, кто бралъ весло, кто держалъ поносную, кто веревку...

— Отчаливай вонъ ту! что стали?—кричали съ караванки. Барки трещали, скрипѣли...

Одна барка пошла, понесло и людей вмѣстѣ съ нею. Подлиповцы ротъ разинули.

— Крестись!—командовали лоцмана.

Крещеные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло бокомъ, и она такъ и поплыла.

— Греби возьми!..

Бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Греби сильнѣй! греби-и!!

Бурлаки опустили въ воду весла и стали помачивать ихъ.

— Отчаливай-ай!!

Поплыли еще двѣ барки, потомъ три, десять...

Пила и Сысойко стояли посрединѣ коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко!—сказалъ Пила съ боязнью и вцѣпился въ полу Сысойкина полушубка.

— Боюсь,—отвѣтилъ Сысойко.

Дѣти Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полушубковъ Пилы и Сысойка, дико смотрѣли на удаляющіяся барки.

— Эй, вы! Пила! Сысойко! на корму!—кричитъ лоцманъ.

Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазѣте! Пошли въ барку!—крикнулъ лоцманъ на дѣтей Пилы.—Эй, вы! у веселъ стойте!.. Пошли на носъ!.. еще шестеро сюда!—командовалъ лоцманъ, толкая бурлаковъ и тыча въ ихъ подбородки.

Стали стаскивать въ воду поносныя. Стаскиванье сопровождалось пѣснею: обхватитъ бурлакъ поносную, напретъ на нее силою и закричитъ: «дернемъ-подернемъ, да разъ!.. Ха!!»—и двигается поносная, а не запоетъ бурлакъ этой простой пѣсни—и силы нѣтъ...

— Смотри, ребя! не робѣть. Что скажу, то исполняй. Теперь, братцы, боязно, какъ разъ потонемъ!—говорилъ лоцманъ.

Всѣ бурлаки струсили, а Пила спросилъ лоцмана: «а пошто?» Лоцману не до разсужденій было. У него много дѣлъ.

Всѣ приготовлены, каждый держитъ въ рукѣ что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестикъ, лежащій на коломенкѣ, кто веревки.

— Отчаливай!—закричалъ лоцманъ Терентьичъ.

— Отвязывай веревку-то!

Съ другой барки отвязали веревку съ кормы. Коломенку двинуло въ воду и живо поворотило кормой внизъ по рѣкѣ.

— Мужланы! Анафемы!! Я васъ!—реветъ лоцманъ.—Да отвязывайте носовую веревку!.. Ахъ, бѣда!.. Греби къ берегу!.. стой въ носу!.. Не тронь канатъ!

Бурлаки забѣгали, напугались. Сдвинули поносную и стали; погребли веслами и стали. Лоцманъ вышелъ изъ терпѣнія.

— Ахъ, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакіе! Загребай воду-то! Не такъ: въ ту сторону!.. Ахъ, бѣда! Отъ себя, чортъ, отъ себя!..

Бурлаки работали, что есть силы. Съ нихъ катилъ потъ, а все не въ толкъ...

— Что вы стали, дьяволы!—кричали на эту коломенку съ берега и съ караванокъ.

— Отчаливай носъ! Принимайся въ греби! загребай въ рѣку!

Коломенка пошла и пошла бокомъ поперекъ рѣки.

— Сильнѣе, сильнѣе! Эй, вы, носовые, въ глубь! въ глубь!.. А вы къ берегу... Стой весла, иди сюды!

Кормовыхъ и носовыхъ пробрало. Потъ такъ и катилъ съ нихъ. Коломенка скрипѣла, покачивалась и ушла уже далеко отъ завода. Бурлаковъ привѣтствовалъ рѣзкій вѣтеръ. Воздухъ свѣжѣлъ.

— Стой!—кричитъ лоцманъ. Бурлаки сѣли, на рукахъ мозоли, а коломенка идетъ животомъ впередъ.

— Славу Богу—начинъ хорошъ, а тамъ не знаю, что будетъ,—говорилъ лоцманъ и крестился. За нимъ крестились и прочіе.

Бурлаки сидятъ и удивляются, что они плывутъ; впереди и позади тоже барки плывутъ. Много ихъ пущено. Сидятъ они, смотрятъ на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоитъ, только деревья бѣгутъ, вонъ и камни бѣгутъ, и мужикъ какой-то бѣжитъ. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки не долго сидѣли. Минутъ черезъ пять лоцманъ опять поднялъ всѣхъ на ноги.

— Заворачивай корму! живо!..—Корма повернулась вкось.—Греби къ тому берегу, смотри, тутъ плотъ—это заплавь называется. Кабы не торнуться...

Дѣло въ томъ, что дно р. Чусовой каменистое, и сама она очень быстра и извилиста, такъ что нерѣдко барки ударяются въ береговые камни огромной величины, какіе выглядываютъ даже изъ воды на серединѣ рѣки. Поэтому въ отвращеніе несчастныхъ случаевъ придумали ограждать эти камни, носящіе разныя названія, въ родѣ: Косой, Бражка, Узенькій, Писаный, Дужный, Печка, Горчакъ, Разбойникъ,—заплавями, состоящими изъ двухъ плотинъ, изъ которыхъ каждая половина состоитъ изъ трехъ *прясель* (бревенъ) длиною до 10 саженъ, толщиною до 7 вершковъ, связанныхъ между собою веревками. Они привязываются къ деревьямъ, растущимъ на берегу, такъ, чтобы, плавая по водѣ, могли принять на себя барку, если она силою теченія будетъ плыть прямо на камень. Но эти заплави мало приносятъ пользы, потому что, ударомъ барки о бревна, бревна далеко относитъ, и барка все-таки разбивается о камень. Въ двухъ верстахъ показалась Черная гора.

— Греби! не робѣй, ребятушки... Выручи, водки куплю!..

Работа началась на всей коломенкѣ, работали носовые, кормовые и греби. Весла и поносныя шумѣли, вода отъ плеска тоже шумѣла, вѣтеръ свисталъ и проницалъ каждаго человѣка до костей. Всѣ умаялись; всѣ молчатъ, дико смотря на приближающуюся гору. Каждый трепещетъ и молится горѣ: «матушка-горушка, выручи!».. Лоцманъ нѣсколько разъ перекрестился, поминутно мѣрявъ шестомъ глубину рѣки и самъ помогалъ грести поносную. Гору миновали благополучно. Лоцманъ перекрестился и сказалъ: «брось!» Всѣ бурлаки сѣли.

Такъ плыли бурлаки цѣлый день.

И хорошо, какъ плывутъ барки! Люди сидятъ измученные и что-то думаютъ, вѣроятно о трудной работѣ, какой они еще не дѣлывали, и весело имъ кажется: барка плыветъ, лѣсъ и камни мелькаютъ. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вонъ какой лѣсъ показался, рѣчка бѣжитъ, а тамъ вдали деревушка подъ горой стоитъ и сѣрыя поля съ грядами видятся... Вонъ село какое-то съ деревянной церковью, ишь какія крыши-то высокія, такъ вотъ и кажется, что дома другъ на дружку лѣпятся. Вонъ опять поле огороженное. Какой-то мужикъ въ телѣжкѣ ѣдетъ... А вонъ налѣво лѣсъ горитъ, и тушить-то его некому. А вонъ мужики куда-то бревна везутъ. Вонъ въ лодкѣ мужикъ съ бабой рѣку переѣзжаетъ... И все плыветъ, идетъ, бѣжитъ куда-то, все смотритъ на бурлаковъ, киваетъ имъ привѣтливо: здравствуй, молъ, поштенный, куда те Богъ несетъ?.. Бурлаки дѣйствуютъ веслами и поносными; вода плещется, барка скрипитъ, точно какъ плачетъ, обмывается водой, смывая бурлац-

кія слезы... Бурлаки работаютъ: то и дѣло нагибаютъ спины, наклоняются, поднимаются, шлепаютъ тяжелыми, усталыми ногами, думаютъ что-то, вѣроятно о томъ: ахъ бы лечь да отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули къ горячему тѣлу, по бородамъ текутъ крупныя потныя капли и падаютъ то на весла, то на рукавицы... А барку несетъ бокомъ: лѣса, поля, деревни, люди—все и все куда-то несетъ. Эхъ, ты—жизнь, жизнь горькая! Только одно солнышко стоитъ на одномъ мѣстѣ, ласково такъ смотритъ на міръ Божій, да и то не надолго,—возьметъ да и спрячется за сѣрыя тучи, словно дразнится...

Опять впереди утесъ, крутой и страшный. Такъ вотъ и кажется, что тутъ конецъ рѣкѣ, такъ вотъ и хлобыснется о камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утесъ, треснула; раздался гулъ, крики мужиковъ... Ничего не разберешь! Видно только, что люди копошатся, плывутъ въ шитикѣ, слѣзли на берегъ, — и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучивъ глаза, смотрѣли на то мѣсто.

— Валяй на всѣхъ!—кричитъ лоцманъ. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернѣетъ, такая страшная; голые утесы, точно страшилища какія, висятъ надъ рѣкой: берегись, молъ, зашибу!..

— Греби! греби! Что стали?..

— Эка бѣда!—ворчатъ бурлаки.—Скоро ли ужъ конецъ-то!..

— Греби сильнѣй!.. Валяй! въ землю смотри...— И лоцманъ самъ принялся грести.

Миновали утесъ. Тамъ по колѣно въ водѣ стояли бурлаки на потонувшей баркѣ и просили пощады у Терентьича... На гору лѣпилось нѣсколько бурлаковъ, къ баркѣ плыли въ шитикѣ два лоцмана и четверо бурлаковъ.

— Пусти!—говорили они.

— Греби! что стали?..—говоритъ лоцманъ Терентьичъ.

— Ради Христа...

— Ну васъ!.. Греби сильнѣе, вонъ тамъ опасно...

Барка завернула за утесъ. Впереди плывутъ барки.

— Вотъ оно што!..

— Бѣда...

— Экъ ее хлобыснуло!—разсуждаютъ бурлаки.

— А еще два лоцмана!—говоритъ лоцманъ Терентьичъ.

— Какъ же теперь? — спрашиваетъ лоцмана Пила.

— А такъ: барка потонула, а можетъ, и люди потонули, лоцману бѣда. Ахъ, злочесть какая!— тужитъ лоцманъ.

— Эй, ты, мужланъ, сворачивай въ глубь! — кричитъ лоцманъ на лоцмана одной барки, плывущей впереди.

— Э!—отозвалось съ барки и слышится оттуда крикъ:—«Вали къ берегу! вали!»

Бурлаки плывутъ молча. Темнѣетъ. Слышны скрипъ барокъ, глухой плескъ воды да пѣсня: «разомъ да разъ! дернемъ, подернемъ да разъ!.. Ха!..»

Вечеромъ пристали къ прочимъ баркамъ. На баркахъ разсуждали объ убившейся баркѣ. Много бурлаковъ хотѣло идти посмотрѣть на ту барку и потужить съ бурлаками, да идти-то далеко и отдохнуть хочется.

— Эдакъ и мы помремъ,—говоритъ Сысойко.

— Не помремъ. У насъ лоцманъ—бѣда!—говоритъ Пила.

Бурлаки наѣлись сытно и улеглись спать въ барки. Во снѣ имъ снилось: какъ они плывутъ, какъ кричитъ лоцманъ, какъ хлобыснется барка объ утесы, какъ они поднимаются на горы и падаютъ въ рѣку...

Ночью приплыло къ баркамъ нѣсколько бурлаковъ съ разбившейся барки. Утромъ ихъ приняли на двѣ барки. Эти бурлаки говорили, что потонули два бурлака, одинъ лоцманъ убѣжалъ куда-то, а другой уѣхалъ куда-то къ набольшимъ.

Въ третьемъ часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипомъ веселъ и поносныхъ, руганью лоцмановъ, пѣснями: «дернемъ, подернемъ да разъ!»...И каждую весну оглашаются такъ берега Чусовой; страшилища-утесы, пугалища-камни любуются трудомъ бурлаковъ, издѣваются надъ людскимъ горемъ... И сколько по этой Чусовой барокъ пройдетъ! Не одинъ десятокъ тысячъ людей, плывя по этой быстрой, каменистой, страшной рѣкѣ, дрожитъ отъ страха и молится горамъ: «не ударь — проведи... Всю жизнь буду молиться тебѣ... Что хошь возьми— только не убей!».. Только по ночамъ опасности забываются, и идутъ разсказы про Ермака Тимоѳеича, о камнѣ Ермакѣ-разбойникѣ, да воздухъ оглашается скрипочной игрой съ караванокъ, на которыхъ съ утра до вечера буянятъ и пьянствуютъ приказчики.

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали, гдѣ попало. Приставали и днемъ около селеній, въ которыхъ закупали хлѣба.

Можно бы много написать про то, какъ бурлаки плыли восемь дней, да не стоитъ, потому что первый день плаванія походилъ на прочіе: тотъ же крикъ лоцмановъ, тѣ же пѣсни бурлаковъ. Бурлака мало интересуетъ природа: видитъ онъ баское мѣсто, да что толку? Не про него оно устроилось такъ... Ему бы поѣсть только хорошенько да поспать въ теплѣ... А тамъ, можетъ, и лучше будетъ. Только работа больно какъ тяжела! Почти четверть бурлаковъ чувствуютъ боль, и половина этихъ больныхъ лежитъ, да и на нихъ покрикиваютъ лоцмана: «что дрыхнете!»

— Ой, помираю!—стонутъ бурлаки.

— Я тѣ помру! Пошелъ, робь!..—кричитъ лоцманъ.

А бурлакъ и пошевелиться не можетъ.

Два бурлака умерли. Ихъ зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и въ рѣку съ камнемъ бросить, потомъ можно сказать, что они убѣгли. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще привяжется. Ужъ лучше, какъ зарыли; всѣ знаютъ, что человѣкъ-то померъ; ну, и спи, родной: по крайности не мучишься!.. Пожалѣютъ бурлаки мертвеца, да и забудутъ въ тотъ

же день, только ночью инымъ мерещится во снѣ что-то страшное.

У заводовъ и большихъ селъ барки и коломенки останавливаются для закупки провизіи. Приказчики выдаютъ бурлакамъ деньги на харчи, и съ прибытіемъ барокъ набережныя заводовъ, селъ и деревень оживаютъ. Бурлаки запасаются хлѣбомъ, наполняютъ кабачки; жители навязываютъ имъ разныя сласти—мясо, брюшину, яйца, лукъ, огурцы и т. п.,—и продаютъ, сравнительно съ приволжскими мѣстами, очень дешево. Бурлакъ, имѣющій деньги, непремѣнно покупаетъ что-нибудь и, главное, непремѣнно вернется на барку навеселѣ.

Пила съ Сысойкомъ пробавлялся даромъ. Ни у него, ни у ребятъ его, ни у Сысойка не было денегъ. Хлѣбъ, купленный въ заводѣ, давно весь вышелъ, такъ какъ каждый съѣдалъ въ сутки по полковригѣ. Когда не стало у нихъ хлѣба, они воровали изъ котомокъ другихъ бурлаковъ. На рынкахъ, въ селахъ и заводахъ Пила на хитрости пустился. На рынкахъ обыкновенно кричатъ:

— Хлѣба купи! луку купи!

Пила и говоритъ:—«Давай». И наберетъ пять ковригъ. Сысойко наберетъ огурцовъ и луку.

— А вы деньги подайте!

— А ты подожди. Насъ, гли, сколь—не убѣжимъ.

— Знаемъ мы васъ!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибѣгу.

Къ торговкѣ или къ торговцу приходятъ другіе покупатели, Пила и Сысойко уходятъ на свою барку; а какъ ушли, и поминай, какъ звали.

Такимъ же манеромъ онъ и мясо покупалъ.

На пристаняхъ бурлаки отдыхали; этотъ отдыхъ былъ для нихъ какимъ-то праздникомъ. Накушавшись хлѣба, доставши сластей, они дружно ѣли кучками и ѣли очень много, такъ много, что другой крестьянинъ не съѣстъ столько: возьметъ пленку луку, съѣстъ,—мало, еще съѣстъ; возьметъ огурцы, съѣстъ, у другого попроситъ; нальетъ изъ котла щей въ большую деревянную чашку, накрошитъ въ нее хлѣба, водицы рѣчной подольетъ и хлебаетъ огромной бурлацкой ложкой. Цѣлаго котла недоставало на толпу, и они, выхлебавъ щи, нальютъ въ чашку воды и опять хлебаютъ съ крошками. Да и щи-то какія: вода да мясо, безъ всякой приправы... Зато всѣ ѣдятъ дружно, не сердятся, не завидуютъ, какъ будто всѣ родные братья. Наѣстся бурлакъ и начнетъ проминаться — что-нибудь ладить, кое-кто лапти чинитъ, кое-кто спитъ, развалившись на палубѣ, такъ что только вѣтерокъ развѣваетъ волосы да бороды. Вечеромъ стоитъ посмотрѣть на бурлаковъ, чего-то они ни дѣлаютъ: и поютъ, и пляшутъ, и играютъ на гармонійкахъ, точно забыли дневной трудъ, точно радуются, что они миновали опасность, не нарадуются, что дождались-таки волюшки-свободушки, и не думаютъ, что завтра опять будетъ тяжелый трудъ... Почти каждый бурлакъ, плывущій не въ первый разъ, знаетъ пѣсню: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», и пѣсня эта часто поется разомъ на трехъ—шести баркахъ. Больно нравится бурлакамъ эта пѣсня,—почему, они не дадутъ отчета, только чувствуютъ, что она хорошая пѣсня, и лучше ея нѣтъ другой пѣсни.

Дѣти Пилы тоже радовались вмѣстѣ съ бурлаками. Работа ихъ была легкая, и братъ съ братомъ постоянно толковали о чемъ-нибудь.

— Слышь, какъ лоцманъ реветъ! — дивуется Павелъ.

— Ну ужъ и горло!—Ребята смѣются.

— Это онъ на Сысойка кричитъ.

— Э! пусть кричитъ... Слышь! Во какъ честитъ!

— А вотъ на насъ такъ не кричитъ.

— А пошто онъ те вчера билъ?

— Ужъ молчи! Самово тебя билъ.

— Вотъ што, Пашка, пошто это барка-то пишшитъ?

— А кто ее знаетъ.

— Поди мужикамъ-то трудно?

— Што мнѣ... А мы вотъ качали-качали, а воды все, гли, сколь! Какъ ты ее ни отливай, а ее все больше да больше.

— Вотъ што... сдѣлямъ дыру въ баркѣ-то, вода и выбѣжитъ...

— Дурень! Да вѣдь вода-то отъ тово и бѣжитъ въ барку—дыры въ баркѣ-то. Ты сдѣлай дыру и потонемъ.

— А тятька-то воръ: гли, сколь хлѣба укралъ.

— Отколотимъ его.

— У него сила, Ванька, — прибьетъ! Вонъ и Сысойко не можетъ съ нимъ справиться.

— Да Сысойко вахлакъ: Сысойка я, что есть, прибью.

— Пойдемъ спать?

— Давай лучше барки пускать.

— Давай.

Ребята бросаютъ въ воду щепку и смотрятъ: идетъ щепка или нѣтъ. Щепка стоитъ...

— Умоемся.—И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, можетъ быть, удивился: зачѣмъ ребята умывались грязной водой, накопившейся въ баркѣ, когда они могли бы умыться въ самой рѣкѣ? Во-первыхъ, они были еще глупы; прежде они умывались и купались въ рѣчкѣ, находящейся въ трехъ верстахъ отъ Подлипной, да и я забылъ раньше сказать, что въ Подлипной бань не существовало; во-вторыхъ, они были водоливы и имъ было мало времени на то, чтобы бѣгать на берегъ, а достать воды ведромъ... они вѣроятно не додумались до этого въ тотъ моментъ, когда имъ пришла мысль: есть вода подъ ногами—и ладно.

Больше всего ихъ занимало то: идетъ барка или нѣтъ.

— Смотри, Пашка, какъ лѣсъ бѣжитъ.

— Ужъ я смотрю.

— А барка-то стоитъ...

— Ну и врешь: лѣсъ бѣжитъ и барка бѣжитъ.

— Диво!.. Пошто это барка-то бѣжитъ? Вѣдь ее никто не везетъ?

— То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это такъ. Спросить некого. Они знали, что бурлаковъ не

стоитъ спрашивать. Вотъ они разъ бросили съ барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонулъ. Спустили шестъ на воду, шестъ потянуло къ низу, и они никакъ не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вотъ поэтому и тащитъ насъ.

— А мы попробуемъ, зайдемъ въ рѣку—поплывемъ али нѣтъ.

Разъ они зашли въ воду по колѣно, ихъ перло къ низу.

— Эка сила—утащитъ!

Они хотѣли идти дальше, и потонули бы, да ихъ лоцманъ испугалъ:

— Потонуть вамъ, шельмамъ, хочется!

— Мы, дядя, такъ...

— Я тѣ дамъ такъ! Ступи-ко еще, и утонешь.

— А и то утонешь, вонъ камень потонулъ тоже...

Лоцманъ говорилъ имъ, что есть люди, которые не тонутъ, а умѣютъ плавать. Они не вѣрили.

Въ устьѣ рѣки Сылвы, впадающей въ Чусовую, много было барокъ, приплывшихъ изъ другихъ заводовъ; барки эти тоже двинулись внизъ.

Всѣмъ хотѣлось скорѣе увидать Каму, по которой плыть не опасно, а какъ вошелъ въ нее, и дѣлать нечего. Подлиповцамъ больше всѣхъ хотѣлось увидать Каму. Баютъ, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рѣкъ прошли, а всѣ, баютъ, въ Каму бѣгутъ.—Знаемъ мы Каму-то, она отъ Подлипной не далеко, такъ тамъ махонькая, а глубокая, рыбы пропасть, а здѣсь поди и конца ей нѣту, а рыбы-то поди людей ѣдятъ...

Наконецъ барки стали въ устьѣ Чусовой, противъ деревни, и загородили все устье. Чусовая здѣсь шире и глубже, а Кама шире Чусовой въ три или четыре раза. Берега какъ Чусовой, такъ и Камы, низкіе.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская рѣка и конца-то ей нѣтъ.

— Супротивъ Камы теперь всѣ рѣки дрянь, и Чусовая пиголица противъ нея.

— Вотъ ужъ рѣка, дакъ рѣка—никому зла не сдѣлатъ.

— Одново года бѣда тутъ была. Пошли, знашь, барки да стали въ Перму, и поди ты, братецъ мой, ледъ съ верху. И ледъ-то какой—ужасти! Какъ царапнетъ барку, и пошла ко дну... Много барокъ перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошшо стоять будемъ: кто его знаетъ—этотъ ледъ-то, прошелъ онъ али нѣтъ.

— Баютъ въ деревнѣ: весь прошелъ.

Барки здѣсь простояли два дня. Въ это время бурлаки больше спали, а лоцманъ, имѣвшій въ деревнѣ родственника, пошелъ къ нему съ Сысойкомъ, Пилой и дѣтьми его, сытно пообѣдалъ, выпарился въ банѣ и принарядился. Здѣсь всѣ лоцмана выпили водки, надѣли красныя рубахи и навязали на шляпы красныя ленточки. Всѣ были веселы, покуривали махорку, пѣли пѣсни.

— Ну, ребята, доѣхали до Камы, а тамъ какъ по маслу пойдетъ,—говорилъ лоцманъ.

— Баско,—говорили бурлаки.

— А все я васъ провелъ. Молиться вы должны за меня.

— А ошшо далеко бѣжать-то?

— Да больше тово, сколь прошли.

— А Подлипная близко?—спросилъ Пила.

— Какая Подлипная?

— Ну, наша-то деревня?

— Чердынь-то?

— Ну, Чердынь городъ.

— Да какъ тебѣ сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули отъ Перми до Чердыни; пошли—тепло было, а пришли туда—холодно стало, потому, значитъ, долго шли: рѣка больно мелка. А такъ ходу недѣля.

— Вре?

— Только недѣля. Вотъ таперь тамъ хлѣбъ больно дорогъ, а суда ходятъ только до Усолья да до Соликамска, а въ Чердынь рѣдко, потому рѣка мелка, да и Чердынь въ сторонѣ верстъ за сорокъ стоитъ.

— Да мы въ Усольѣ-городѣ были. Тамъ ишшо соль дѣлаютъ. А оттуда шли-шли... Пошли—стужа была, а пришли къ баркамъ—тепло стало.

— А можно бы въ двѣ недѣли дойти.

— Ну и врешь!..

Подлиповцы думали, что лоцманъ морочитъ ихъ.

— Вы кругъ дали: вамъ бы по Камѣ надо идти или по большому тракту.

— Вре?

— Вамъ можно всево только недѣлю дойти до Перми, а тамъ бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше тамъ было.

— Я вотъ теперь Каму хорошо знаю и на Волгѣ бывалъ годовъ съ пять. Хотѣлъ на пароходъ наняться, да прохворалъ зиму-то; а нынѣ наймусь безпремѣнно зимой.

— Тамъ баско?

— Да лучше здѣшняго, работы меньше.

— Такъ ты и насъ возьми.

— Можно будетъ, и вамъ доставлю работы.

Пила съ Сысойкомъ задумали поступить на пароходы, еще не зная, что̀ это за штуки такія.

Барки тронулись по Камѣ. Кама бушевала, дулъ съ низу сильный вѣтеръ, шелъ дождь. Бурлаковъ пробирало вѣтромъ очень чувствительно, полушубки ихъ смокли. Барки покачивало отъ большихъ волнъ. Подлиповцы въ первый разъ увидали такія волны и дивовались.

— Экая большая, какъ гора! Смотри, какъ хлобыснулась! Ишь какъ! Шумитъ больно...

Барки плыли въ разсыпную бокомъ. Бурлаки работали съ часъ. Ихъ хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлакъ такъ гребетъ: спуститъ весло въ воду, обмакнетъ и подниметъ, кое-кто развѣ гребнетъ, да и то рѣдко. Работа очень скучная. А въ вѣтеръ немного такъ нагребешь: спустилъ бу

лакъ весло въ воду, волна и ударитъ его, а иное и не достанетъ воды. Лоцмана наконецъ прекратили работу, да и не стоило работать, когда барка шла посерединѣ рѣки. Вонъ два острова миновали уже, а теперь и спи часа два, а тамъ Мотовилихинскій островъ будетъ, и Пермь въ двухъ верстахъ.

Подлиповцы, кромѣ Елки, который хворалъ, попрежнему находились у кормы. Пилу и Сысойка больно пробрало вѣтромъ, вымочило дождемъ; они дрожали. Имъ страшно надоѣло сидѣть на кормѣ, а лоцманъ не пускаетъ въ коломенку.

— Сиди, чего еще надо? Вотъ скоро Пермь будетъ, выдрыхнешься.

Однако Пила увелъ Сысойка въ нутро коломенки и легъ на желѣзныя доски. Оба дрожали. Въ коломенкѣ лежали семь бурлаковъ.

— Ну, ихъ къ лѣшимъ! Не станемъ робить,— оворилъ Пила.

— Баютъ: городъ скоро, тамъ и останемся,— говоритъ Сысойко.

— И мы съ вамъ!—напрашивается Павелъ.

— Васъ не возьмутъ.

— Возьмутъ.

— Коли возьмутъ, ступай. А ужъ мы здѣсь не останемся. Ну, ужъ и край! Экъ вымокли. Помремъ тожно...

— А лоцманъ баетъ: сила онъ. А тоже и безъ него барку-то тащитъ.

— Послушай только его, навретъ онъ тебѣ.

— Наплевать намъ на лоцмана!—говоритъ одинъ изъ бурлаковъ.

— Ужъ больно крикливъ. А мы вотъ, какъ онъ закричитъ на насъ, и не пойдемъ!—ворчитъ Пила.

— Ты за меня держись: ужъ не пойдемъ!—говоритъ Сысойко.

— Городъ, баетъ, близко. Да поди ошшо вретъ: сколько водилъ по рѣкамъ-то, да обманывалъ!

— Вонъ онъ теперь насъ бьетъ. А пошто?—говоритъ Павелъ.

— А ты не давайся. Мнѣ скажи; я ему задамъ,— ворчитъ Пила.

— Баетъ, прогоню.

— Ишь командеръ какой, чортъ! Самъ восемь медвѣдевъ убилъ...

— Лоцманъ баетъ, намъ въ городѣ денегъ дадутъ.

— А не дадутъ развѣ? Ну-ко, не дай... попробуй!

— Эй, вы, черти! что спрятались?—крикнулъ въ дыру лоцманъ. Пила и Сысойко ни съ мѣста. Павелъ и Иванъ тоже перестали откачивать воду.

Лоцманъ еще крикнулъ. Сысойко и Пила хохочутъ: «экъ испугались!» Лоцманъ вошелъ въ барку. За нимъ вошло бурлаковъ двадцать.

— А вы куда! Пошли!..—закричалъ онъ на бурлаковъ.

— Не слушай его, лѣшева. Заведетъ онъ насъ въ чучу!—кричитъ Пила.

Бурлаки развалились спать. Лоцманъ руками хлопнулъ.

— Да что вы, анафемы? Пошли!

Бурлаки хохочутъ.

— Бурака водка баръ! Пьепъ-се, шайтанъ-те заѣшь,—проговорилъ черемисъ.

— Пырни ево! пырни!—кричитъ Пила одному бурлаку.

Лоцманъ сталъ бить Пилу. За Пилу вступились прочіе бурлаки.

— Такъ вы такъ! начальство не хотите знать?.. Пошли вонъ!

— А ты деньги подай! Тогда и распоряжайся!— кричитъ Пила.

— Деньги подай!—говорятъ бурлаки.

Лоцманъ струсилъ. Всѣ бурлаки вооружились на лоцмана, и никто не шелъ на палубу.

— «Бѣда! еще убьютъ пожалуй!»—думаетъ лоцманъ.

— Братцы, да не сердитесь! ну, чѣмъ я васъ обидѣлъ?

— Знаемъ мы, чѣмъ ты обидѣлъ. Подай деньги и робить станемъ.

— Ребятушки, вѣдь этакъ мы и городъ проплывемъ.

— Ты городъ кажи.

— Да скоро. Вонъ за тѣмъ угломъ и городъ.

Бурлаки не шли на палубу. Лоцманъ ушелъ.

— Што? Али я не сила?—бахвалился Пила.— Пусь одинъ поробитъ. Пусь...

— Да и што робить-то! Барка-то и безъ насъ идетъ,—замѣтили бурлаки.

Лоцманъ не зналъ, что дѣлать. Напугать бурлаковъ—убьютъ; соврать имъ что-нибудь – не повѣрятъ. Онъ стоялъ закручинившись. Съ нимъ стояло трое бурлаковъ. Лоцманъ рѣшилъ пугнуть бурлаковъ острогомъ.

— Послушайте, братцы: если вы дѣломъ не хотите робить, я, какъ пріѣду въ городъ, начальству васъ отдамъ. Пусть въ острогъ посадитъ.

— Экой прыткой!—говорилъ Пила.

— Тебѣ хочется? Не бывалъ развѣ въ острогѣ-то?..

— Былъ, да теперь не затащишь.

Пилу окружили нѣсколько бурлаковъ.

— Такъ ты, батъ, сидѣлъ?

— Бѣда!

— Значитъ, бѣжалъ?

— Прибилъ ошшо, самово прибили. Вонъ и Сысойка прибили.

— А ты за што сидѣлъ—за убійствіе?

Пила сердился, но смолчалъ.

— Ужъ знаю, нехорошій человѣкъ! — сказалъ лоцманъ.

— Онъ, ребя, ошшо убьетъ! — замѣтили нѣкоторые изъ бурлаковъ и пошли на палубу.

За ними пошли остальные и лоцманъ.

— А вы вотъ еще связались съ ними!—сказалъ бурлакамъ лоцманъ.

— Не говори съ нимъ.

— Хлѣба не ѣшь...

— Убьетъ...

— Я, батъ, туда пойду! — говорилъ Сысойко, скучая отъ лежанки на желѣзѣ.

— Ну, и чортъ съ тобой.

— А пойдемъ!

— Ну те къ лѣшимъ! Спи, знай.

Иванъ и Павелъ смѣялись надъ Пилой и Сысойкомъ.

— Пашка! дерни Сысойка-то!

— Сысойко, хлобысни тятьку!

— Я те хлобысну! Ну-ко, подойди!

Иванъ подходитъ, къ Пилѣ, дергаетъ его за полушубокъ; Пила схватываетъ его за волосы и теребитъ. За Ивана пристаетъ Павелъ; Пила прибилъ и Павла.

Сысойко вышелъ на палубу. Показался городъ.

— Тятька! гликось, тамъ што! — крикнулъ Иванъ Пилѣ, увидавъ въ дыру городъ.

Пила посмотрѣлъ улыбнулся и ткнулъ въ бокъ Елку.

— Вставай—Перма ужъ.

— Ой, пусти!—стонетъ Елка.

Пила ушелъ на палубу. Всѣ бурлаки смотрѣли на городъ и дивились.

— Эко баско! Ай да Перма-матушка! Вотъ дакъ городокъ! Гли, церквей што, домовъ бѣлыхъ... А барокъ-то, судовъ!

Здѣсь рѣка была въ версту ширины, и больно она большою казалась впереди: далеко-далеко тамъ что-то черное видно—тамъ, видно, и конецъ. Выглянуло солнце и опять спряталось.

— Греби! — вскричалъ лоцманъ. Работа началась. Пила и Сысойко тоже принялись за поносную.

— Ты не тронь,—сказалъ одинъ бурлакъ Пилѣ и оттолкнулъ его отъ поносной.

— Потолкайся, што я те свисну! Ты вишь городъ.

— Бей ево!

— Я тѣ дамъ бей... Въ воду столкону!

— Греби, греби! что ругаетесь! Мало ли что вамъ скажутъ, такъ вы и вѣрите, — заступился лоцманъ за подлиповцевъ.

Пила и Сысойко не могли понять, что такое сдѣлалось съ бурлаками. Они не залюбили бурлаковъ...

И опять работаютъ бурлаки молча, нагибая спины, опуская весла въ воду и поднимая ихъ,—только и слышатся ихъ тяжелые шаги, да барка скрипитъ. Что думаютъ бурлаки,—Богъ вѣсть. Они то и дѣло смотрятъ на приближающійся городъ; на лицахъ видится тоска, какое-то желаніе и что-то такое, что̀ бурлакъ не въ состояніи не только передать другому бурлаку, но даже понять. Одинъ только лоцманъ стоитъ у столба посреди барки и важно, жадно глядитъ на городъ: знай, молъ, нашихъ!

— Брось греби! брось носовые! Загребай къ берегу!—кричитъ онъ бурлакамъ.

Городъ близко. Около берега, возлѣ города, стояло нѣсколько барокъ, коломенокъ, караванокъ, съ кружками на верху мачтъ и флагами на мачтахъ, баржи, два парохода, изъ которыхъ одинъ готовился къ отплытію. Мимо подлиповцевъ прошелъ пароходъ съ двумя баржами и оглушительно просвистѣлъ: бойся, молъ, дрянь ты экая! Всѣ бурлаки смотрѣли на него, какъ на чудо; особенно дивились тѣ, которые въ первый разъ видѣли пароходъ. Ихъ забавляли колеса, дымъ, свистокъ, и то, что онъ бѣжитъ къ верху, да еще во какія огромныя домины претъ. Больше всего дымъ занятенъ: экъ онъ изъ трубы-то валитъ, черный, да много сколь и выходитъ, да какъ лошадь ржетъ.

— Ну, и чортъ!

— Экъ онъ!—разсуждаютъ бурлаки.

— Вонъ ошшо! — Впереди шелъ пассажирный пароходъ.

— Гли, какъ онъ колесами те загребатъ!.. Эво! воно какъ. Ахъ, будь онъ проклятъ...

Раздался свистокъ. Бурлаки дрогнули.

— Экая у него пась-то. Варнакъ... право!..

А лоцманъ издѣвается надъ бурлаками да хихикаетъ:

— Оболтусы вы экіе!.. Ничего-то вы не смыслите... Право, дурачье экое. Вы то поймите, онъ паромъ ходитъ и названье ему пароходъ.

Бурлаки хохочутъ. Больно ужъ смѣшно лоцманъ баетъ.

— Тамъ котлы подѣланы для паровъ и печь большая устроена. Онъ саженъ двадцать въ день съѣдаетъ.

Бурлакамъ опять смѣшно.—Ишь ты, чортъ! А пошто?

— По то, что пароходъ. Парами ходитъ.

— Прокуратъ, право, ты! Экой зубоскалъ!..

— А тамъ машины такія устроены, кои сами дѣйствуютъ.

— Ну, ужъ и сами?

— Ей-Богу.

— Такъ-таки сами?

— И люди только дрова бросаютъ, да машинистъ около машины сидитъ, наблюдаетъ.

— Такъ онъ самъ бѣжитъ?

— Экіе вы дураки!—Лоцманъ плюнулъ въ рѣку.—Врать вамъ стану—нужно, подикось.

— А пошто же у него весловъ нѣту?

Лоцманъ рукой махнулъ и отошелъ отъ бурлаковъ прочь.

— А вѣдь прокуратъ лоцманъ-то. Ишь, што сбрехалъ: самъ, баетъ, ходитъ,—толкуютъ бурлаки и хохочутъ.

Причалили къ берегу противъ почтовой конторы. Здѣсь было уже барокъ двадцать. Бурлаки сидѣли и ходили на баркахъ, на берегу, плелись на гору въ городъ. На горѣ гуляла губернская публика. Все это занимало подлиповцевъ, и они тоже сошли на берегъ, постояли подъ горой, потолковали, идти или нѣтъ, и рѣшили, что идти незачѣмъ, нѣтъ денегъ, да и поздно,—ушли опять на свою барку. Наѣлись сытно хлѣба съ водой и легли спать, но никакъ не могли уснуть. Больно ихъ забавляли пароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь въ родѣ слѣдующаго:

— Ну, таперь доплыли въ Перму. Отдохнемъ. Супротивъ Перми да Елабуги ужъ не будетъ такихъ городовъ.

— Тамъ еще Нижной городъ есть. Огромнѣющей, дома эво какіе! А этотъ супротивъ Нижняго пиголича.

— Этотъ, баютъ, губерня, потому, баютъ, все набольшіе живутъ, страшные такіе... Всѣмъ городамъ правятъ, и Чусова тоже на Перму молится.

— Вре! А Чердынь?—спросилъ Пила.

— И Чердынь тоже.

— А Подлипная?

*

— Тоже.

— Ну, братъ, врешь... У меня только и было начальство—попъ да становой!—ворчитъ Пила.

— Ну, значитъ, ты вячкой.

— Я тѣ дамъ вячкой! Самъ ты вячкой...—бранится Пила.

Барки то и дѣло прибывали. Къ каждой баркѣ приходили солдаты, служащіе въ дистанціи путей сообщенія, осматривали барки, билеты, считали бурлаковъ, придирались къ лоцманамъ за больныхъ, кричали и получали отъ лоцмановъ деньги.

Первый день прошелъ скучно для бурлаковъ. Всѣ они умаялись и рано легли спать. Нѣкоторые изъ нихъ ходили въ городъ, да только такъ, поглазѣть. Ночью еще приплыло нѣсколько барокъ, и вновь приплывшіе бурлаки не давали спать приплывшимъ раньше, потому что кричали: «бери чалку!», потомъ наступали на ноги спавшихъ на баркахъ бурлаковъ. Бурлаки ругались.

Въ полдень на другой день бурлаки получили по полтиннику денегъ. До этого времени нѣкоторые изъ нихъ продавали въ городѣ за дешевую цѣну сковородки, чугунки и прочія желѣзныя вещи, и на деньги эти покупали хлѣба, булокъ, огурцовъ, сушеныхъ судаковъ и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубливали на нѣсколько частей и большею частью глотали не размоченные, прикусывая хлѣбомъ и свѣжимъ лукомъ.

Бурлаковъ, не бывавшихъ въ большихъ городахъ, очень занимала Пермь. По правдѣ сказать, городъ этотъ не казистъ, жители бѣдны, хорошіе дома построены большею частью на одной улицѣ, идущей отъ сибирской заставы къ дому В., а потомъ къ будкѣ, стоящей на краю лога. Но бурлаки эти въ первый разъ видѣли большіе дома, въ первый разъ ходили по прямымъ улицамъ. Ихъ все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

Въ этотъ день Пилу и Сысойка съ ребятами лоцманъ не отпустилъ въ городъ, а заставилъ чинить барку. Посмотримъ поближе на жизнь бурлаковъ въ Перми хотя въ третій день, когда подлиповцы пошли въ городъ.

Четыре часа утра. Барокъ больше сотни; но барки все еще приплываютъ. Посреди ихъ красуются четыре караванки съ разноцвѣтными кружками и съ надписями на флагахъ, означающими названіе заводовъ. Бурлаки почти всѣ встали и каждый что-нибудь ладитъ. Стукъ, звукъ отъ желѣза, скрипъ и говоръ не умолкаютъ и слышатся далеко. Нѣсколько бурлаковъ кучками сидятъ или лежатъ подъ горой и на горѣ; сидящіе разговариваютъ или зѣваютъ, или ѣдятъ хлѣбъ, лежащіе дремлютъ или смотрятъ на барки, на рѣку, на небо... Хорошо сидѣть на горѣ противъ рѣки, такъ бы все и сидѣлъ, и мысли все какія-то хорошія появляются въ головѣ... И часто бурлакъ засыпаетъ, нѣжась на сырой землѣ... Онъ отдыхаетъ, и хочется ему все бы такъ отдыхать.

Пять часовъ утра. Въ это время къ баркамъ идутъ городскія и мотовилихинскія *) торговки и приносятъ на доскахъ, положенныхъ на головы, хлѣба и калачей и на коромыслахъ луку, квасу и огурцовъ. Бурлаки берутъ нарасхватъ или хлѣба, или луку. Квасъ пьютъ всѣ. Пила старался достать хлѣба даромъ, да здѣсь торговки оказались хитрѣе его: сами—мастерицы обманывать, а хлѣбъ большею частью продаютъ съ закалой.

Въ восьмомъ часу бурлаки идутъ толпами въ городъ, кто въ полушубкахъ, кто въ однѣхъ рубахахъ. Лоцмана отправляются къ начальнику дистанціи, за ними идутъ и приказчики, и другія старшія лица надъ бурлаками, плывущія на караванкахъ. Зачѣмъ они идутъ къ начальнику дистанціи, — объ этомъ рѣдкій житель Перми не знаетъ, а мы умолчимъ.

Бурлаки валомъ валятъ въ городъ, а на баркахъ все еще много ихъ: тамъ все не умолкаетъ стукъ, скрипъ. Нѣсколько барокъ уже отплываютъ.

Пилѣ и Сысойку лоцманъ не далъ денегъ за то, что они нагрубили ему. Въ этотъ день лоцманъ велѣлъ имъ не отлучаться съ барокъ, а самъ ушелъ. Ихъ взяло горе.

— А мы побѣжимъ,—сказалъ Пила Сысойку.

— Куды подемъ? здѣсь баско.

— А мы подемъ поглядимъ.

Пила пошелъ къ дѣтямъ.

— Сколько онъ далъ?—спросилъ онъ Павла.

— Ишь! — Павелъ показалъ мѣдныя деньги — 20 копѣекъ.

— Много,—говорилъ Иванъ.

— Подемъ!—скомандовалъ Пила дѣтямъ.

— Да онъ велѣлъ воду откачивать.

— Што откачивать! Хоть ты качай не качай, а воды, гли, сколько.

Ребята пошли.

— А вы намъ дайте денегъ. Какъ получимъ, отдадимъ.

Ребята не давали.

— Вы насбираете. Право, дай!

Ребята поругались, а какъ стали всходить на гору, отдали по 15 коп. каждый. Деньги взялъ Пила.

Взошли они на гору съ двумя бурлаками. На горѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ сидѣли горожане, глазѣвшіе на барки и на бурлаковъ. Подлиповцамъ хорошо сдѣлалось, когда они посмотрѣли на рѣку.

— Ишь ты!—улыбаясь, говорилъ Пила. Они вошли въ улицу. Проѣхала карета. Пила долго ломалъ голову и не могъ понять, что это за штука такая.

Пройдетъ ли хорошо одѣтый господинъ, подлиповцы шапки снимаютъ и смотрятъ на него; попадется ли офицеръ, они тоже снимаютъ шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попался имъ навстрѣчу молодой дьяконъ безъ пушка на лицѣ въ шелковой рясѣ. Пила долго смотрѣлъ на него, разсуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и онъ хотѣлъ догнать дьякона, посмотрѣть на него, да товарищи отговорили. Куда ни посмотри, вездѣ хорошо. Вотъ бы пожить тутъ. Въ нѣ-

---

*) Мотовилихинскій заводъ, находящійся въ трехъ верстахъ отъ города.

сколькихъ мѣстахъ на деревянныхъ тротуарахъ сидятъ бурлаки и ѣдятъ; нѣсколько человѣкъ лежатъ около заплотовъ на травѣ.

— Вы откелева? — спрашиваютъ подлиповцы бурлаковъ. Тѣ скажутъ.

По улицамъ идутъ бурлаки: одинъ несетъ чипунки, другой коты, третій пять ковригъ чернаго хлѣба на спинѣ, обвязавъ ихъ веревкой; двое тащатъ на палкѣ брюшину, осердіе, старую, почти засохшую говядину... Кто ѣстъ, а кто и такъ идетъ; попадаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добываютъ,—рѣшилъ Пила.

Однако они подошли къ одному столбу, около котораго стояла кучка бурлаковъ.

— Што, ребя, диво?—сказалъ Пила, думая, что въ столбахъ ничего нѣтъ удивительнаго.

— Да, баютъ, тутъ бѣда. Сказалъ ты слово, и пошло качать,—говоритъ одинъ бурлакъ.

— Поди ты къ лѣшимъ!.. Вишь ты, тутъ соль добываютъ.

— Попалъ! Ты видалъ ли, какъ соль-ту добываютъ?

— Эво!

— Тамъ столбы-то не экіе, да и перекладины подѣланы, а тутъ желѣзки, да еще четыре.

Пила втупикъ сталъ, однако подумалъ: «можетъ, и здѣсь соль дѣлаютъ, только иначе».

— Эй, поштенный! Это што?—спросилъ одинъ бурлакъ мѣщанина.

— Это телеграфъ.

— Какъ?

Тотъ повторилъ.

— А што же тутъ дѣлаютъ?

— Письма отправляютъ.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, какъ пошлешь письмо за тысячу верстъ утромъ, оно вотъ и побѣжитъ по проволокѣ и къ обѣду тамъ будетъ.

— Худо мѣсто!—сказалъ Пила. И бурлаки отошли прочь.

Предъ окнами одного дома пѣли двое зырянъ. Имъ что-то подали. Пилѣ завидно стало, и онъ пошелъ просить подъ окно ради Христа; ему не подали ничего.

— Не баско здѣся,—сказалъ онъ.

Подлиповцы шли посреди дороги. По полу, какъ называли они тротуары, они боялись идти: ишшо прибьютъ.

Они пришли на рынокъ. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговокъ бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакамъ купить что-нибудь. У подлиповцевъ глаза разбѣжались: чего-то нѣтъ на рынкѣ! А какія еще есть булки бѣлыя да махонькія, крендели да штучки какія-то... Такъ бы вотъ и съѣлъ все. Пила купилъ пекарскую булку [1]). Эта булка такъ понравилась Пилѣ и Сысойку, что они ее въ четыре пріема съѣли.

— Што?—говоритъ Пила.

— Давай ошшо!—проситъ Сысойко.

Они купили еще и съѣли, и все-таки не наѣлись, потому что такія мягкія булки они ѣли въ первый разъ; онѣ на вкусъ подлиповцевъ были только сладки, но сравнительно съ чернымъ хлѣбомъ далеко не питательны.

Пошли всѣ въ питейную лавочку, взяли у ребятъ послѣднія деньги и пропили.

— А ись хочется,—говоритъ Пила.

— Бѣда!..

— А больно баско тамо! Все бы ѣлъ да ѣлъ.

— Денегъ нѣтъ. Лоцманъ не далъ.

Въ лавочкѣ было восемь бурлаковъ, изъ коихъ два съ той барки, на которой былъ Пила. Подлиповцевъ поподчивали. Они захмелѣли. Ребята ушли сбирать милостынку и черезъ часъ пришли съ семью кусками хлѣба; въ рукахъ у нихъ было двѣнадцать грошиковъ.

Подлиповцы вышли изъ лавочки. На улицѣ били ихъ лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойко пристали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили,—говорилъ лоцманъ и поцѣловалъ Пилу и Сысойка: — таперь подемте пить.—Лоцманъ былъ пьянъ.

— А ты пошто мнѣ не далъ денегъ?—ворчитъ Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумалъ? Ты знай, я сила!.. Я барку по Чусовой провелъ.

— Сама прошла.

— Ну, и не дамъ денегъ, не дамъ... Не перечь мнѣ! Не пере-е-чь!!

Лоцманъ привелъ подлиповцевъ въ питейную лавочку, купилъ полштофъ водки и угостилъ ихъ; даже Иванъ и Павелъ выпили. Лоцманъ далъ Пилѣ рубль.

— Пей, ребя! Таперь праздникъ!—кричали въ лавочкѣ бурлаки.

— Ужъ таперь нѣтъ опаски!..—Лоцманъ повелъ подлиповцевъ въ трактиръ и тамъ угостилъ супомъ и жаркимъ. Подлиповцы сладко наѣлись.

Изъ трактира лоцманъ и подлиповцы вышли пьяные и по выходѣ на улицу тотчасъ же запѣли пѣсню. Даже Павелъ и Иванъ пошатывались и что-то пѣли. По улицамъ было очень много пьяныхъ бурлаковъ. Большая часть ихъ пѣла и играла на гармоніякахъ и балалайкахъ. Горожане смотрятъ на нихъ да посмѣиваются. Но никто не обижаетъ бурлаковъ.

Нѣсколько бурлаковъ нашли себѣ теплыя гнѣздышки въ домахъ бѣдныхъ мѣщанъ. Хозяева домовъ пускали бурлаковъ по 3 коп. въ сутки, отъ 6 до 15 человѣкъ. И крѣпко спали бурлаки въ теплыхъ избахъ, и хорошо имъ было, хотя они и на грязномъ полу спали. Давно уже они не спали такъ, и долго еще имъ не придется такъ спать.

Подлиповцы съ лоцманомъ едва добрались до

---

[1]) Нисколько не похожую на французскую, какъ замѣтилъ одинъ несчастный критикъ, отозвавшись о подлиповцахъ съ полнымъ непониманіемъ этихъ людей, сравнивая ихъ съ петербургскими судорабочими. Пекарская булка въ Перми продолговатая, вѣситъ около фунта и по роду муки называется или казанской сайкой, или сибирской пекарской булкой. *Авторъ.*

своей барки, и какъ только пришли, такъ и завалились спать и проспали весь вечеръ и всю ночь.

На баркахъ точно праздникъ подъ вечеръ: всѣ сидятъ кучками; одни хлебаютъ щи, другіе ѣдятъ колодку судака, третьи хлебаютъ вареное прокислое молоко. Передъ каждымъ лежитъ коврига хлѣба. Пьяные спятъ. На барки возвращаются тоже пьяные. Изъ города слышны бурлацкія пѣсни. Наѣвшись, бурлаки начинаютъ пѣть, играть на инструментахъ и пляшутъ. На одной караванкѣ кто-то играетъ на скрипкѣ, на другой кто-то играетъ на гитарѣ, визжитъ женщина, звенитъ посуда.

Былъ тихій, прекрасный вечеръ.

Губернская публика, человѣкъ до двухъ-сотъ, ходитъ взадъ и впередъ по маленькой набережной, называемой загономъ. Любуется ли она бурлаками, Богъ вѣсть. Для нея играетъ музыка на возвышеніи, посреди площади. Далеко разносится эта музыка, заключающая въ себѣ польки. Музыканты играютъ скверно, но все-таки около загородки стоятъ бурлаки и боятся войти въ загонъ; слушаютъ они музыку: хорошо и весело играютъ, долго бы слушалъ, да непонятно что-то. Постоитъ бурлакъ, заноетъ у него сердце, и пойдетъ онъ невеселый на барку. А тамъ поютъ родныя пѣсни, выигрываютъ родные же пѣсни, пляшутъ—все какъ то лучше, отраднѣе.

— Баско играютъ, да не по намъ,—разсуждаютъ бурлаки.

— И люди-то тамъ какіе! Сморчи... чучелы...

— Эхъ, братъ, сыграй веселую... Вотъ тутъ болитъ!—говоритъ одинъ бурлакъ, указывая на грудь или на сердце.

— Што тамъ! У нихъ свое, у насъ свое. Имъ такъ-то не спѣть. Затягивай! Знай нашихъ!—кричитъ какой-нибудь пьяный лоцманъ.

И выпѣваются бурлацкія пѣсни, грустныя, заунывныя, и далеко далеко, и долго разносятся эти пѣсни. А поютъ-то какъ они: сидитъ бурлакъ, подопретъ щеки руками, задумается точно, въ глазахъ жизнь видится, на лицѣ горе, и смотритъ въ воду... Слушаешь эти пѣсни, все бы слушалъ ихъ, а словъ разобрать не можно, только и слышится какой-то стонъ протяжный...

Въ прежніе годы, когда не плавали еще пароходы по Камѣ до Перми, Кама была запружена до половины барками, и тогда городъ наполнялся бурлаками. Теперь только десятая часть прежняго: пароходы съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сокращаютъ число бурлаковъ. Что будетъ съ этими людьми, когда имъ негдѣ будетъ бурлачить?

Есть люди, которые называютъ бурлаковъ самыми послѣдними, бросовыми людьми. Есть даже и такіе, которые называютъ ихъ негодяями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бѣдные люди. Вѣдь у бурлаковъ только и есть богатства, что на немъ надѣто, да что онъ съѣдаетъ... и для этого онъ трудится больше, нежели другой. А терпѣніе переносить зной, холодъ, дождь?.. — «Надо же кому-нибудь быть бурлакомъ»... обыкновенно говорятъ люди, насмѣхающіеся надъ бурлаками и не понимающіе бурлацкой жизни.

Въ Перми барки простояли еще три дня. Въ послѣдній день бурлаки съ утра скучали: дѣлать нечего, а хочется дѣлать; сходитъ бурлакъ на рынокъ—денегъ нѣтъ: лоцмана не даютъ,—говорятъ, приказчики не даютъ; просто задоръ беретъ. Есть же такіе богачи, что у нихъ и хлѣба-то множество и всякой всячины пропасть! Походитъ, походитъ бурлакъ по рынку и по городу, погорюетъ, что напрасно онъ пропилъ деньги, и идетъ на барку.

Подлиповцамъ хорошо казалось жить на баркахъ. Хотя и бываетъ работа, зато не всегда, а хлѣбъ-то у нихъ всегда есть, даже еще много. «Жалко, нѣтъ Матрены!.. Ну, Апроська померла; куда съ ней больной. Здѣсь и безъ бабъ хорошо: татары да зыряне смѣшатъ; и городскіе смѣшатъ, говорятъ какъ-то инако да надъ нами смѣются».

Подлиповцы узнали здѣсь больше, нежели они знали въ деревнѣ и въ Чердыни: они узнали, что міру божьему нѣтъ конца, что деревня ихъ дрянь, люди совсѣмъ другіе, чѣмъ они; что имъ уже не быть такими, какіе ходятъ въ городѣ въ богатой одеждѣ. Имъ хотѣлось еще побывать дальше и пріискать себѣ такое мѣсто, гдѣ бы было хлѣба много и можно бы было спать подольше.

Между тѣмъ барки постоянно приплывали и, выправивши билеты и заплативши положенный съ нихъ сборъ, плыли внизъ. Когда отправились караванки, то съ нихъ палили изъ пушекъ.

Въ воскресенье назначено было плыть лоцману Терентьичу. Пила съ Сысойкомъ и ребятами отпросились у лоцмана купить хлѣба. Лоцманъ отпустилъ на полчаса. Звонили къ обѣднѣ. Пила и Сысойко нѣсколько разъ проходили мимо собора и заглядывались на него. Идя теперь мимо его и увидавъ, что въ ограду идетъ много людей, въ томъ числѣ и бурлаки, подлиповцы вошли въ соборъ. Ребята пробрались въ народъ на самую середину, а Пила съ Сысойкомъ стоятъ у дверей. Видятъ они, посреди церкви одѣваютъ кого-то, и надѣваютъ-то на него все хорошее... Нигдѣ такихъ одеждъ они не видали. Нигдѣ не слыхали такого хорошаго пѣнія... Никогда не видали такой хорошей церкви... И расписано-то какъ. Пѣвчіе пропѣли очень громко... Сердце дрогнуло у Пилы. Настала тишина. Пила не утерпѣлъ.

— Баско! Ай баско!!—сказалъ онъ.

— Ишь ты. А!—проговорилъ Сысойко.

Ихъ вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльцѣ, заглядывали въ стекла, видѣли только архіерея да много людей; хотѣли пробраться въ церковь, но ихъ не пустили.

— Эко ты диво! Кто же это?—удивлялся Пила, отходя прочь отъ церкви.

— Я баялъ, не надо идти.

— Ужъ намъ гдѣ! А ты, Сысойко, поди скличь ребятъ-то, а то безъ нихъ барки не пойдутъ.

— Самъ скличь.

— Поди, право. Боюсь.

Они пошли къ воротамъ. Имъ попался офицеръ. Они сняли шапки. Офицеръ прошелъ.

— Поштенный! а поштенный!—окликнулъ офицера Пила.

— Что вамъ?—спросилъ тотъ.

— Кликни тамъ Пашку да Ваньку, тятька, молъ, зоветъ, плыть тожно надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушшаютъ.—Офицеръ ушелъ. Пила и Сысойко постояли нѣсколько времени, попросили еще кого-то послать къ нимъ ребятъ, да тотъ и не отвѣтилъ даже имъ. Они пошли на рынокъ.

— Эко дѣло... Какъ теперь безъ ребятъ-то?—говоритъ Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вотъ то говори: они поди богачество тамъ получаютъ.

— Экъ ты!

— А получатъ. Ишь, какъ тамъ баско... Вдругъ Богъ-отъ и дастъ имъ богачество. Эвотъ сколько! Эво!..—говоритъ Пила, указывая рукой на большой домъ.

— Пожалуй. Толды мы вмѣстѣ станемъ жить?

— А не то, такъ и Матрену скличемъ...

— Апроську бы надо...

Пилѣ грустно сдѣлалось. Теперь ему казалось, что у него и родныхъ вовсе нѣтъ, кромѣ Сысойка, а ребята такъ и пропали. Жалко!

На рынкѣ они купили по три ковриги хлѣба и печонку. Сысойко несъ хлѣбъ, Пила печонку. Они опять подошли къ архіерейской оградѣ.

— Пойдемъ туда,—говорилъ Сысойко.

— И! Гли, туда какіе все идутъ.

— А вонъ бурлаки.

— Насъ не пустятъ, ошшо въ острогъ засадятъ.

Однако они вошли въ ограду, взошли на крыльцо и хотѣли войти въ церковь. Ихъ опять прогнали... Они пошли на барки.

— Можетъ, они ужъ тамъ, откачиваютъ...

Ихъ барка отваливала.

— Шевелись! черти!..—кричалъ на нихъ лоцманъ.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойка и еще трехъ бурлаковъ посадили на шитикъ.

— А ребята здѣсь? — спросилъ Пила лоцмана на баркѣ.

— Ждать мнѣ твоихъ ребятъ!

— Врешь?

— А ты пошто ихъ бросилъ?

— Да они въ церкви остались, не нашли... Эка бѣда!

— Поди глазѣютъ тамъ впервые-то!

— Какъ же теперь?

— А такъ... На другу барку можетъ пустятъ, только едва ли пустятъ безъ билета.

— Не здѣсь ли они, Сысойко? погляди,—спросилъ, немного погодя, Пила.

— Можетъ.

Пила сходилъ на барку. Въ баркѣ отливали воду два бурлака. Пилѣ и Сысойку еще скучнѣе сдѣлалось.—Эко горе! Какъ же теперь безъ ребятъ-то! Помрутъ они тамъ!

А барка между тѣмъ плыла да плыла. Города уже не видно.

До Елабуги плыли полторы недѣли. Въ это время они на сутки останавливались для починки барокъ и для закупки провизіи въ городахъ Осѣ и Сарапулѣ. О житьѣ бурлаковъ въ это время сказать нечего: оно было такое же, какъ и на Чусовой и въ Перми, съ тою только разницею, что работы было меньше, чѣмъ на Чусовой. Бурлаки уже привыкли къ бурлацкой жизни, мало сѣтовали на свою судьбу; не удивлялись, какъ прежде, надъ пароходами, попадавшимися имъ навстрѣчу и обгонявшими ихъ раза по четыре въ сутки; не удивлялись надъ величиною баржи: имъ теперь все приглядѣлось, надоѣло.

Съ потерею дѣтей Пила сдѣлался очень скученъ и еще болѣе привязался къ Сысойку.

— Нѣту у меня теперь ребятъ, только ты одинъ, —говоритъ онъ Сысойку ночью, лежа съ нимъ въ баркѣ.

— Идти бы назадъ въ церковь.

— Што дѣлать! Ужъ ты не отставай отъ меня.

— Ты только не брось.

— Я не брошу. Што мнѣ одному-то? Вонъ наши подлиповчи — што имъ,—своихъ пріятелей завели.

Елка и Морошка работали на носу и рѣдко говорили съ Пилой и Сысойкомъ. Имъ почему-то не нравились Пила и Сысойко, и они даже наговаривали объ нихъ бурлакамъ, что они колдуны, въ острогѣ сидѣли и прочее.

Каждый разъ, когда нечего было дѣлать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь вдалекѣ отъ прочихъ бурлаковъ, смотрѣли другъ на друга и жалѣли другъ друга.

— Плохо, Сысойко! А-яй плохо... Такъ вотъ и болитъ *нутро;* ужъ болитъ!

— Какъ болитъ!.. Помереть бы...

— Сысойко: зачѣмъ ты не баба?..

— А пошто?

— Да такъ. Все бы оно лучше.

— А мы подемъ назадъ?

— Да надо ребятъ найти. Какъ найдемъ, и подемъ сюда.

Половина барокъ поплыла изъ Елабуги къ устью Волги и въ Саратовъ. Подлиповцевъ и прочихъ бурлаковъ заставили выгружать желѣзо на берегъ, а потомъ нагружать въ баржи. По окончаніи выгрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денегъ, а прочіе больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забралъ раньше впередъ. Нѣсколько бурлаковъ поступили на баржи, тысяча человѣкъ пошли въ Вятскую губернію, кто по рѣкѣ Вяткѣ, впадающей въ Каму недалеко отъ Елабуги, кто проселочными дорогами. Человѣкъ двѣсти нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Грузъ былъ большею частью съ хлѣбомъ. Пила и Сысойко нанялись съ прочими подлиповцами до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора цѣлковыхъ.

— —

Работа для подлиповцевъ теперь была еще тяжелѣе. Судно дожидалось попутнаго вѣтра. Вѣтеръ подулъ. Подняли паруса съ пѣснями: «ухнемъ! ухнемъ! разомъ да разъ!!!». Вѣтеръ потянулъ паруса и потянулъ судно. Подлиповцы удивлялись первый день, какъ это ихъ тянетъ вѣтеръ. Прошли они такъ верстъ десять, судно вошло въ такое мѣсто, гдѣ вѣтеръ не могъ тащить судно. Судно подплыло къ берегу посредствомъ гребли и стало на якорь.—«Бери бичеву!» сказали лоцмана. Бурлаки, въ томъ числѣ и подлиповцы, положили въ лодку бичеву—веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, съ кожаными петлями или лямками, и приплыли на берегъ.

— Бери бичеву!..

Бурлаки надѣли на груди лямки. Всѣхъ ихъ было пятнадцать; на суднѣ было десять бурлаковъ.

— Трогайся съ Богомъ! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай!—кричатъ мужики съ судна.

Бурлаки потянули бичеву—и все ни съ мѣста.

— «Ухнемъ! ухнемъ! да разъ!»—Они натянули впередъ всей силой, ихъ подало впередъ.

— «Ухнемъ, ухнемъ, да разъ!.. Дерни, подернемъ, да разъ!»—И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову внизъ; руки болтаются, ноги переступаютъ едва-едва... «Дернемъ, подернемъ, да разъ». И они идутъ, не увеличивая скорости шага; на плечахъ ихъ точно что-то тяжелое лежитъ, такое тяжелое, что ужасти.. Идутъ они такъ часъ, груди у нихъ болятъ, ноги устали; съ нихъ каплетъ потъ, большія шапки ихъ закрываютъ глаза... Идутъ они тихо и покачиваются изъ стороны въ сторону.

Идутъ они сегодня по песку—солнышко ихъ жжетъ; на другой день идутъ болотистымъ берегомъ—ноги вязнутъ; выбились изъ силъ, а лоцманъ то и дѣло кричитъ: «что стали, пошли живо!». На третій день идетъ дождь, гремитъ громъ, сверкаетъ молнія, а они идутъ и тянутъ богачество... Вотъ судно встало на мель. Пошли они къ судну по колѣно въ водѣ, вошли на судно и сталкиваютъ его шестами съ мели,—и опять ихъ пробираетъ потъ, солнышко или дождь. Вонъ стоятъ суда съ высокими мачтами.

— Стой!—кричитъ лоцманъ.

Они хотятъ встать, ихъ пятитъ назадъ.

— Брось бичеву!

Они снимаютъ лямки и бросаютъ. Бичева подбирается на судно. Много ловкости нужно имѣть лоцману, чтобы провести судно къ верху; много труда для бурлаковъ, нанявшихся вести судно на своихъ плечахъ!..

Какъ трудно поднимается судно къ верху, это видно изъ того, что наши подлиповцы пришли изъ Елабуги въ Пермь черезъ мѣсяцъ, потому что они большею частью тащили его, а вѣтеръ дулъ рѣдко.

Пила и Сысойко вездѣ спрашивали про Павла и Ивана, но никто не зналъ объ нихъ. Въ Перми они не шли бичевой, а сначала стояли противъ рѣчки Данилихи, потомъ, когда подулъ вѣтеръ снизу, ихъ протянуло до рѣчки Егошихи, и здѣсь они простояли два дня, въ которые выправили билеты. Пила справлялся на трехъ баржахъ и ничего не узналъ о дѣтяхъ.

— Померли!—рѣшилъ онъ.—Ну, хоть не мучатся. А то што имъ жить-то... А вотъ на насъ нѣту смерти.

— И мы поди не помремъ?—спросилъ на это Сысойко.

— Какъ не помремъ—всѣ помираютъ. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то какъ безъ тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобыснись.

— Боюсь...

— Вотъ мы таперь муку премъ, а небось ее не дадутъ намъ, а даютъ когда гривну, когда полтину.

— Знамо, они богатые.

— Вотъ, баютъ, и въ Чердынь муку плавятъ, а пошто она тамъ дорога?

— А по то: кто плавитъ-то,—богатъ! Вотъ тѣ и богачество!

— Ужъ именно! Какъ прежь жили, такъ и таперь придемъ безъ всего, да ошшо ребятъ нѣтъ.

— Што дѣлать!.. Вотъ тѣ и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско тамъ, да што? А мы, Сысойко, не подемъ ужъ въ Перму, лучше соль будемъ дѣлать: ишь, такъ тамъ тепло, и денегъ, баютъ, больше дадутъ.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што съ колесами бѣгатъ.

— Попробуй—попади! Прогонятъ. Вездѣ гнали, и изъ Перми прогонятъ. Народъ тамъ, баютъ, злой...

— Все бы поплавать.

— Чортъ ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слѣзла... А спина-то? Самого такъ и пошатыватъ,—хоть помереть можно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вонъ лошадямъ такъ славная жизнь-то...

— Ну, ихъ!.. А мы соль будемъ дѣлать.

Черезъ день Пила и Сысойко ведутъ такой разговоръ.

— Ошшо бы такъ-ту поплавать, какъ по Чусовой плыли... Людей сколь, барокъ!.. города разные... И хлѣбъ тамъ былъ...—говоритъ Сысойко.

— Такъ оно. А таперь и люди-то побѣгли, баютъ, домой.

— А намъ куды?.. што намъ въ деревнѣ-то?..

— Тамъ, Сысойко, баютъ, города баскіе есть. Баютъ, Перма супротивъ ихъ пиголица... Походимъ ошшо тамока?

— Подемъ.

— Баютъ, городъ есть такой:—дома все каменные, а вышина-то... въ Перми нѣтъ такихъ домовъ. Тамъ, баютъ, царь живетъ.

— И туды подемъ... А денегъ даютъ?

— Баютъ, баско тамъ.

— А мы и таперь подемъ!

— Куды таперь подешь? Я чуть иду, такъ бы

вотъ и лежалъ... А мы полежимъ въ Усольѣ и подемъ...

Черезъ день опять другое:

— Гли, Пила, траву косятъ!.. Што бы намъ землю дали,—ужъ и бурлачить бы не пошли.

— Э! Людямъ счастье, а намъ гдѣ ужъ! Вонъ, баютъ, много есть бросовой земли, а не даютъ—богатые люди продаютъ, да дорого... Здѣсь ошшо што: все лѣсъ да лѣсъ, а вонъ ниже Перемы видали мы, какія земли-то! баютъ, хлѣба много.

— Пожить бы тамъ... Гли, плотъ плыветъ!

— Пусть плыветъ. Ты вотъ то суди:—люди-то на немъ такіе же, какъ и мы. А ты погляди, какъ рыбу ташшатъ неводомъ. Вотъ дакъ ремесло! Лучше этова ремесла ничего и нѣтъ.

— И легко!

— Поймалъ и съѣлъ, и продать можно.

— Подемъ рыбачить.

— Подемъ... Поспимъ и подемъ.

— Слышь, Сысойко, какой я сонъ видѣлъ... Ходимъ мы въ Перми, дома все инакіе, огромнѣющіе—ужасти! Церквей столь!.. Хлѣба такъ и накладена цѣлая гора... Набрали мы много хлѣба... Идемъ, идемъ, да и очутились въ рѣкѣ, и хлѣба нѣтъ,—неводъ тащимъ... Вытащили—ничего нѣтъ; ошшо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасти... Потомъ мы въ варницѣ очутились... Печь большая, пребольшая; все дрова кидаютъ, и мы кидамъ... Только кидамъ, кидамъ такъ-ту дрова, и вижу я въ печкѣ-то Апроську... Кричитъ она: «тятька, вытащи! тятька, вытащи!»... Ужасти... Стою я и не смѣю въ печку водти, а только тебя жгетъ, жгетъ, и самъ будто ты въ полымѣ сталъ. Кричу я эдакъ, а меня въ печку толкаютъ... Вотъ да сонъ!

— Бѣда!

— А какъ худо жить!.. Ходили мы, ходили съ тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у насъ куды гожи?.. а гунька-то, гунька-то!..

— Ну, и жизнь!

— Походимъ ошшо; можетъ лучше будетъ.

— Кто ево знатъ... Ты считай, сколь бѣдъ-то.

— А попъ баялъ, какъ помрешь, баетъ, на томъ свѣтѣ лучше будетъ,—баско... Значитъ и домъ будетъ, и лошадь, и корова...

Послѣ этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставляю читателю самому судить о положеніи Пилы и Сысойки. А такихъ бурлаковъ очень много. Пила говорилъ правду, что ему бы родиться не слѣдовало: родился зачѣмъ-то человѣкъ, въ дѣтствѣ терпѣлъ горе, вся жизнь его горе-горькая, ужъ какъ ни пробовалъ выбиться изъ нищеты, нѣтъ-таки—стой! куда лѣзешь, лапотникъ?

До Усолья осталось верстъ тридцать. Полдень. Идетъ дождь и немилосердно мочитъ бурлацкіе полушубки. Идутъ бурлаки часа четыре, то по колѣна въ водѣ, то по болотистому берегу, то перескакиваютъ черезъ ручейки, переходятъ ложки. Всѣ устали, измучились, какъ загнанныя лошади, у всѣхъ пересохло горло. Всѣ молчатъ уже съ часъ.

Пила идетъ впереди. Сысойко рядомъ, Елка и Морошка позади ихъ. Пила и Сысойко страшно исхудали и походятъ на мертвецовъ. Они цѣлую недѣлю пролежали на суднѣ, теперь немного поправились, и хотя едва-едва переступаютъ ногами, хотя у нихъ кружатся головы, лоцманъ заставилъ-таки ихъ тащить судно. Двѣ недѣли не пѣли бурлаки пѣсенъ, говорили мало. А это худой признакъ. Водку пили только въ Перми.

Идутъ бурлаки по отлогому берегу около плетня, которымъ огороженъ чей-то покосъ съ лѣсомъ; ноги скользятъ, запинаются за пни; всѣ они покачиваются изъ стороны въ сторону, свѣсивши головы, опустивши руки. Одинъ только бурлакъ, молодой парень, то и дѣло тараторитъ, издѣвается надъ вятскими мужиками.

— Пошли, значитъ, вячки утку стрѣлять, а никто и не умѣетъ стрѣльнуть. Штука, значитъ, забористая...

— Ты ужъ баялъ. Лонись баялъ, давече баялъ...

— Толды не все; таперь какъ есть скажу.

— Ну, бай.

— Ну, и пошли, значитъ, стрѣлять семь мужиковъ одну утку, а ружье у нихъ у всѣхъ одно, да и то забарабали у богатаго хресьянина... Ладно. Увидѣли утку и закричали: «лови ее, халяву!» Побѣгли, она и спряталась. Потомъ выбѣгла и сидитъ на озерѣ... Вотъ они и стали ружье затыкать порохомъ: одинъ положилъ горсть, другой баетъ: «погоди, я положу! моя, баетъ, копѣичка нещербата»... Третій тоже баетъ: «моя копеечка нещербовата», и пехаетъ горстоцку пороху... И всѣ такъ баютъ, и пехаютъ горстоцку пороху... Ну, и положили всѣ по горстоцкѣ пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вотъ одинъ баетъ: «я стрѣльну», другой тоже хочетъ стрѣльнуть и расцапались, а потомъ и обхватили всѣ ружье разомъ... Ружье, какъ бзданетъ ихъ всѣхъ,—кому руку ушибло, кому лицо—бѣда! а одинъ, какъ стоялъ, такъ и упалъ—покойникъ сдѣлался. А они и баютъ: «скрадыватъ! скрадыватъ!» и полегли съ нимъ, головами врозь... Такъ и лежатъ, а встать не смѣютъ... Только ѣдетъ мужикъ и видитъ ихъ... Едва-едва сдогадались, што одинъ мужикъ померъ. Ну, ихъ и сцапали опосля, приволокли къ начальству.

Бурлаки даже не улыбнулись и молча слушали разсказъ. Они ужъ въ четвертый разъ на этомъ дню слышали этотъ разсказъ. Молодой бурлакъ обидѣлся, зачѣмъ бурлаки не смѣются, и началъ другой разсказъ, какъ вячки онучи сушили...

Судно нашло на мель. На немъ шесть бурлаковъ работали шестами. Бичевники стали.

— Трогай сильнѣе, трогай! што стали? — понукалъ бичевниковъ лоцманъ съ судна.

Бичевники натянули бичеву, наперлись, закричали: «дернемъ, подернемъ, да разъ! ухнемъ да ухнемъ! разомъ да разъ!»... Судно стоитъ на одномъ мѣстѣ.

— Пошло, родимые, пошло! Прибавимъ силушки! Вотъ у рѣчки отдохнемъ... — понукаетъ лоцманъ.

Бичевники наперлись пуще прежняго, запѣли;

судно подвинулось, они пошли, но шли такъ трудно, словно не-вѣсть что тащили... Идутъ они, ни о чемъ не думая, а только далеко, далеко раздается ихъ пѣсня: «ухнемъ! ухнемъ! разомъ да разъ!.. ха! дернемъ, подернемъ, да разъ!»... Вдругъ бичевка лопнула, всѣ бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто колѣнкомъ о камень, кто расшибъ носъ и губы, кто свалился къ водѣ, кто упалъ на товарища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бокъ ушибъ, третій кажетъ руку, двое кричатъ: «ой, брюхо болитъ! моченьки!»

Пила и Сысойко лежатъ безъ чувствъ въ разныхъ сторонахъ, облитые кровью. Бурлаки окружили ихъ и стали смотрѣть. Пила разбилъ лобъ, переломилъ лѣвую ногу... Сысойко разбилъ грудь.

Всѣ запечалились.

— Померли!.. Родимые...

— Эхъ-ма! Вотъ тѣ и жизнь!.. Охъ-хо-хо!—и бурлаки утираютъ черными жесткими ладонями глаза.

Пилу и Сысойка накрыли полушубками и отошли прочь.

Приплылъ на берегъ одинъ лоцманъ съ бурлаками. Всѣ погоревали, долго судили, что̀ дѣлать съ Пилой и Сысойкой, и рѣшили свезти въ деревню. Пилу и Сысойка положили на рогожи, завернули рогожами, приплавили въ шитикѣ на судно и тамъ положили на палубѣ. Бурлаки не отходили отъ нихъ, обмыли водой обоихъ и положили такъ, какъ мертвецовъ. Сысойко пришелъ въ чувство, застоналъ, взглянулъ въ лѣвую сторону, гдѣ лежалъ Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила!—простоналъ Сысойко.

— Дай водицы ему,—сказалъ лоцманъ одному бурлаку.

Бурлаки почерпнули въ ведро воды и влили въ ротъ Сысойкѣ воду. То же сдѣлали и съ Пилой.

Пила пошевелился, но не издалъ звука.

Сысойко смотритъ на Пилу дико.—Пила!—опять стонетъ онъ.

Пила издалъ глухой стонъ.

— Больно?—спрашивали Сысойка бурлаки.

Сысойко смотритъ на всѣхъ дико, стонетъ... Вотъ онъ повернулся на бокъ и смотритъ на Пилу. Пила открылъ глаза, пошевелилъ губами и ничего не сказалъ... Потомъ онъ протянулъ къ Сысойку руку и умеръ.

— Похеръ!

— Добрый былъ, добрый...

— И мы такъ помремъ...—разсуждаютъ бурлаки, чуть не плача.

— Тятька!..—стонетъ Сысойко.

— И онъ помретъ...

— Сысоюшко! поживи ошшо чуточку!..— говорятъ Сысойку бурлаки.

Лоцманъ никакъ не могъ заставить бурлаковъ тянуть судно.

— Не трогъ!—говорятъ.—И мы помремъ.

— Братцы, спехнемъ хоть судно-то. Смотрите, вѣтеръ!

— Нѣтъ, братанъ... Гляди!

Лоцманъ привыкъ уже къ подобнымъ сценамъ и перевезъ Пилу и Сысойка въ деревню, находившуюся недалеко.

Пилу схоронили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодныя были эти слезы, слезы бурлацкія...

Сысойка оставили въ деревнѣ и судно кое-какъ сдвинули съ мели. Оставили Сысойка въ деревнѣ безъ бурлаковъ у одного крестьянина, и черезъ четыре дня послѣ отплытія судна онъ умеръ.

Родился человѣкъ для горе-горьской жизни, весь вѣкъ тащилъ на себѣ это горе, оно и сразило его... Вся жизнь его была въ томъ, что онъ старался найти себѣ что-то лучшее...

Вотъ каково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усолья и тамъ поступили на варницы. Отъ работниковъ они узнали, что жена Пилы, Матрена, за воровство попала въ острогъ, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьетъ его, беретъ съ собою, заставляетъ говорить: «подайте ради Христа!» пропиваетъ насобираемый хлѣбъ и деньги, и часто оставляетъ его безъ хлѣба.

Положеніе этого ребенка очень незавидно. Вѣдь и онъ выростетъ, и какимъ онъ будетъ человѣкомъ?...

Что̀ сдѣлалось съ Павломъ и Иваномъ? Они не нахвалятся своей судьбой; жизнь имъ кажется хорошая. У нихъ заведенъ сундучокъ, въ которомъ хранятся сапоги, зеркальце, чай, сахаръ, двѣ ситцевыя рубашки, два тиковыхъ синяго цвѣта халата. Они лѣтомъ кочегарами на пароходѣ, а зимой работаютъ на пристани. Лѣтомъ они бывали въ Нижнемъ, въ Саратовѣ, въ Астрахани, ѣдали яблоки и арбузы, очень развились и даже умѣютъ читать.

Пила оставилъ ихъ въ Перми въ соборѣ. Тамъ они стояли около архіерейскаго мѣста (престола по-церковному) и глядѣли, какъ одѣвали архіерея. Когда они услыхали слово: *баско!* то думали, что это такъ и должно быть, и не обратили вниманія на волненіе въ народѣ, когда выводили изъ собора Пилу и Сысойка, потому что они въ это время смотрѣли на архіерея, на духовенство, на пѣвчихъ и на живопись. Ихъ все удивляло. Когда былъ великій выходъ, Павелъ сказалъ Ивану:

— А тятьки нѣтъ!

— Онъ, поди, смотритъ.—И простояли всю обѣдню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архіерейская служба. — Когда сталъ выходить народъ изъ церкви, они спохватились, что нѣтъ отца, забѣгали на дворѣ, вездѣ выглядывали его, ушли опять въ церковь, тамъ уже не было людей. Они зашли и на хоры, и тамъ уже нѣтъ; прошли въ алтарь, но оттуда ихъ прогналъ староста. Погоревавъ на улицѣ объ отцѣ, они пошли на рынокъ, походили тамъ часа съ три, насобирали Христа ради милостинки, наѣлись, спросили бурлаковъ объ отцѣ, ничего не узнали и пошли глазѣть на народъ.

— Гдѣ же тятька-то?—говорилъ Павелъ.

— Кто ево знаетъ.

— Онъ, поди, уплылъ?

— Безъ насъ не уплыветъ.

— А мы какъ?

— Мы здѣсь останемся. Ишь баско!

— Все тятьки жалко...

По городу они ходили съ часъ и зашли на бульваръ. На бульварѣ начала собираться губернская публика. Они выспались въ канавѣ и когда пробудились, то бульваръ былъ уже полонъ народа; игралъ военный оркестръ; въ шалашѣ играли фокусники. Ребята все высмотрѣли, всему дивились: ихъ очень забавляли офицеры, нарядъ людской, гимнастическія упражненія, качели, танцы въ залѣ.

— Баско!

— У насъ нѣту такъ-то.

— И на баркахъ инако.

— Вотъ такъ городъ?

— А мы ужъ здѣсь останемся...

— А какъ протурятъ?

— Смотри, бурлаковъ сколь. Гдѣ же тятька-то?

— Онъ, поди, смотритъ: ишь, сколь людей-то! Ишь, што діется!—говорятъ ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульварѣ. Утромъ на бульварѣ никого не было, и ребята заплакали съ горя.

Въ городѣ имъ попались бурлаки.

— Видѣли тятьку?—спросилъ ихъ Павелъ.

— А вы бурлаки?

— Бурлаки.

— Откедова?

— Чердынскіе.

— А откелева съ баркамъ-то идете?

— А заводъ Шайтанскій есть, оттоль и плывемъ. А тятьку-то Пилой зовутъ, да ошшо Сысойко съ нимъ.

— Не знамъ мы твово Пилы и Сысойка не знамъ. Шайтански отвалили ужъ.

Ребята запечалились и пошли съ бурлаками на рынокъ. Они заплакали. Куда идти? гдѣ жить?

Пошли они сбирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь городъ, а ночами спали у соляныхъ амбаровъ. Потомъ они наткнулись на одну пристань, увидѣли, какъ и что̀ работаютъ люди, сами стали работать и получили за работу по 20 коп. сер. въ сутки. Цѣлую недѣлю они спали подъ лодками, а потомъ надъ ними сжалился одинъ водоливъ, узнавшій отъ нихъ о потерѣ отца, и пустилъ спать въ баржѣ. По совѣту этого водолива ребята и поступили на пароходъ съ жалованьемъ по 6 р. въ мѣсяцъ.

Житье на пароходѣ ребятамъ кажется хорошимъ. Когда идетъ пароходъ, они постоянно бросаютъ въ ночь дрова и въ это время ходятъ черные, какъ трубочисты, и только изрѣдка любуются людьми... Они узнали, что̀ такое пароходъ, и знаютъ каждый уголокъ въ пароходѣ, каждую вещь, для чего она тутъ хранится или придѣлана. Товарищи любятъ ихъ; въ особенности любитъ ихъ подручный повара и часто даетъ имъ то кусочекъ пирога, то кусочекъ жаркого или иныхъ какихъ сластей понемногу, а главное — въ свободное время, когда пароходъ стоялъ, училъ ихъ читать. Въ это свободное время Павелъ и Иванъ купались въ рѣкѣ, смывали съ себя сажу, надѣвали чистенькія рубашки и ходили по городу, или спали или починивали свою одежду. Зимою они отскребаютъ снѣгъ, метутъ, колятъ дрова, носятъ воду и дрова то смотрителю пристани, то служащимъ на пристани, и часто исправляютъ должность кучеровъ.

Они часто вспоминаютъ про отца и Сысойка. Сидятъ они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюютъ:

— Жаль, Пашка, что отца нѣтъ. Все бы вмѣстѣ лучше.

— Куда же онъ пропалъ? Вотъ и Сысойка нѣтъ.

— Ужъ Сысойко отъ отца не отстанетъ. Они, поди, все бурлачутъ.

— Да теперь ужъ поздно бурлачить: вонъ суда плывутъ къ верху. Я, знаешь, ходилъ на палубу, а бурлаки судно тянутъ. Жалко мнѣ стало.

— Поди, отецъ также тянетъ.

— А мы какъ увидимъ гдѣ отца да Сысойка, дадимъ имъ денегъ и звать будемъ съ нами жить.

— Ладно.

Обѣдаютъ они и говорятъ:

— Жалко, Ванька, что отца нѣтъ! Поѣлъ бы онъ съ нами. Вѣдь онъ никогда такъ не ѣлъ.

— Живъ ли онъ, Пашка?

— Не потонулъ ли онъ съ баркой?..

Одѣнутся они прилично и говорятъ:

— Какъ посмотрѣлъ бы на насъ отецъ да Сысойко, удивились бы... Ишь, какіе мы!

— А мы какъ накопимъ денегъ, полушубки хорошіе купимъ: а то дали намъ какіе-то большіе да старые.

— Они, поди, теперь и не узнаютъ насъ.

— Я бы, знаешь, какъ сталъ бы жить: съ нами отецъ съ матерью да съ Сысойкомъ, про людей бы да про города разные сталъ имъ разсказывать, а не то и читать имъ станемъ.

— Не повѣрятъ.

— Намъ бы повѣрили: ты разсуди, вѣдь они— родные намъ. А вотъ скажи другой имъ, и не поймутъ.

— Почто же они такіе?

— А Богъ ихъ знаетъ. Такъ ужъ, вѣрно, Богъ устроилъ. Одинъ богато живетъ, а другой бѣдно, и живутъ-то вездѣ по-своему: одинъ сытъ, а другой кору ѣстъ.

— А пошто же не всѣ богаты?

— Ну ужъ и не говори больше... Ты говори спасибо, что и такъ-ту живемъ.

Ставленникъ.

I.

Егоръ Иванычъ Поповъ только что окончилъ курсъ семинаріи, и такъ какъ онъ окончилъ по первому разряду, то имѣлъ право просить священническаго мѣста.

Подобныхъ субъектовъ, какъ Егоръ Иванычъ, можно встрѣтить очень много, если не по физіономіи, то по крайней мѣрѣ по манерамъ, сжатому произношенію, какой-то боязливости. Лицо у него неказистое, т. е. некрасивое: въ семинаріи его называли теркой. Терка — названіе, данное лицу, означаетъ, что лицо карявое, иначе сказать, оспой поѣденное. Это бы еще ничего — такъ бѣлизны нѣтъ. Глаза сѣрые, почти что слѣпые, но Егоръ Иванычъ очковъ не надѣваетъ, вслѣдствіе чего нерѣдко сидѣлъ въ карцерѣ за то, что, попавшись на встрѣчу инспектору или какой-нибудь вліятельной губернской духовной личности, не снималъ имъ со-слѣпа шапку, въ родѣ того, какъ солдаты отдаютъ честь офицерамъ; Носъ... ну, да носъ вещь очень небольшая. Впрочемъ, хорошій носъ придаетъ какую-то привлекательность лицу. А у Егора Иваныча носъ былъ неказистый, не потому, впрочемъ, что онъ былъ еврейскій или монгольскій, чего конечно у него не могло быть, такъ какъ отецъ Попова происходитъ отъ дьячка, дѣдъ его тоже и предки были чистой русской крови. Теперь на Егорѣ Иванычѣ суконный сюртукъ, уже отлинявшій, съ протершимися локтями и обшлагами рукавовъ, брюки триковые, сѣраго цвѣта, съ клѣточками, дешевой цѣны, фуражка годовъ шести; ну, сапоги конечно годовалые съ заплатами.

По этому можно заключить, что Егоръ Иванычъ человѣкъ бѣдный, во-первыхъ потому, что онъ терся въ семинаріи двѣнадцать лѣтъ, находясь подъ начальствомъ разныхъ должностныхъ семинарскихъ субъектовъ; во-вторыхъ, занимаясь однѣми только науками, онъ, не имѣя протекціи, долженъ былъ платить за квартиру съ хлѣбами то, что̀ пришлетъ ему бѣдный отецъ его, заштатный дьяконъ Иванъ Иванычъ Поповъ. Конечно, можно бы и безъ протекціи найти какія-нибудь средства, напримѣръ учить дѣтей, или занимать кондиціи въ городѣ, но Егоръ Иванычъ, во-первыхъ, не любилъ кланяться людямъ или напрашиваться, а во-вторыхъ попалась ему кондиція у одного мѣщанина; сынъ-ученикъ оказался непонятливымъ, да его и отъ уроковъ часто посылали то къ Люсавину, то къ Ермолаихѣ, то по водку, и за два мѣсяца не заплатили учителю денегъ. А есть семинаристы и богатые.

Семинаристы вообще дѣлятся на бѣдныхъ и богатыхъ. Бѣдные бываютъ бурсаки и живущіе на квартирахъ, богатые—дѣти состоятельныхъ родителей; но вообще живущіе на квартирахъ оказываются состоятельнѣе бурсаковъ-бѣдняковъ, т. е. дѣтей бѣдныхъ родителей и дѣтей, не имѣющихъ возможности наживать деньги сами собой.

Къ богатымъ принадлежатъ дѣти богатыхъ родителей, живущіе на квартирахъ, которымъ отцы шлютъ много денегъ, собственно для того, чтобы дѣти получили дипломъ на поступленіе въ духовную академію, семинаристы, обучающіе, по протекціи начальства, юношей, письмоводители семинарскихъ правленій, пѣвчіе. Къ разряду пѣвчихъ нужно причислить и архіерейскихъ пѣвчихъ; но архіерейскіе пѣвчіе наживаютъ больше всѣхъ семинаристовъ, не архіерейскихъ пѣвчихъ. Къ сословію богатыхъ принадлежатъ также: костыльники, книгодержцы, стоящіе у царскихъ вратъ со свѣтильникомъ, кладущіе у ногъ архіерея орлы, иподіаконы. Но эти молодые люди-мальчики, исключая иподіаконовъ, которые выбираются изъ философіи и богословія, дѣти большею частію протопоповъ. Они имѣютъ свои деньги, независимо отъ родителей, такимъ образомъ: если архіерей служитъ въ престольный праздникъ въ городской церкви, освящаетъ церковь, ѣздитъ по епархіи, то причты даютъ каждому денегъ, какъ стоящему при архіерейской свитѣ и исполняющему нѣкоторыя обязанности.

Всѣхъ семинаристовъ въ семинаріи, гдѣ былъ Егоръ Иванычъ, 750 человѣкъ. Они раздѣляются на *казеннокоштныхъ* и *своекоштныхъ*. Казеннокоштныхъ, или бурсаковъ, живущихъ на казенной

квартирѣ и пищѣ,—400 человѣкъ, своекоштныхъ, живущихъ на разныхъ квартирахъ въ городѣ,—350 человѣкъ. Казеннокоштные большею частію дѣти бѣдныхъ родителей, начиная отъ причетника до священника, служащихъ въ бѣдныхъ селахъ, безъ казеннаго жалованья; дѣти умершихъ родителей, сироты, призрѣнные начальствомъ. Казеннокоштные сближаются другъ съ дружкой и почти всѣ 400 человѣкъ если не пріятели, то хорошіе знакомые, начиная со словесности. Конечно, изъ 400 человѣкъ нужно исключить уѣздниковъ, которые живутъ отдѣльно, и богослововъ, которые имѣютъ со словесниками шапочное знакомство и ни во что ставятъ уѣздниковъ. Житье въ бурсѣ извѣстно всѣмъ, кто жилъ въ бурсѣ и кто читалъ «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловскаго. И поэтому о бурсакахъ говорить одно и то же не для чего; каждая семинарія походитъ на другія, исключеній почти что нѣтъ.

Своекоштные живутъ вольнѣе бурсаковъ. Въ городѣ много домохозяевъ, которые держатъ на квартирахъ преимущественно однихъ семинаристовъ, потому что семинаристовъ держать выгодно. У хозяина есть столы, стулья, кровати и даже *картинки* очень дешевой работы, двѣ-три комнаты и кухня. Если комната большая, то въ ней ставится три или четыре кроватки или кровати, четыре стула, столъ, иногда и два; если комната маленькая, то двѣ кровати, одинъ столъ и два стула. Дома эти находятся около и недалеко отъ семинаріи. Съ каждаго семинариста берется по одному рублю тогда, когда въ одной комнатѣ уже живутъ два семинариста, въ другой комнатѣ тоже два, въ третьей одинъ. Одна комната для одного стоитъ 2 и 3 рубля въ мѣсяцъ. За такую-то плату, а въ иныхъ домахъ и за 50 коп., семинаристы наполняютъ квартиры. За эту же плату можно послать хозяйку на рынокъ; хозяйка дастъ самоваръ, поставитъ его, сваритъ щи, только подай семинаристъ деньги. Обѣдъ и квартира стоятъ 5 и 6 рублей въ мѣсяцъ тогда, когда хозяйка держитъ 7—8 семинаристовъ, и 7 руб., когда ихъ два или три. Житье на этихъ квартирахъ нѣсколько спокойнѣе казеннаго житья. Не смотря на клоповъ и другихъ подобныхъ звѣрей и на грязь, каждый семинаристъ живетъ здѣсь какъ дома. Конечно, уѣздникъ постоянно подъ началомъ старшаго—словесника, который ставится къ уѣдникамъ начальствомъ, но все-таки каждый можетъ безъ спросу сходить на рынокъ, на рѣку и пр., а послѣ вечерняго визита инспектора, наблюдающаго своей персоной за нравственностью своекоштныхъ бурсаковъ или посылающаго вмѣсто себя богослововъ, семинаристы могутъ дѣлать, что хочется: пѣть пѣсни, плясать, и въ это время вступаютъ въ управу уже домохозяева, которые ругаются за то, что «дурья порода» имъ спать не даетъ.

Уѣздники, дѣти сельскихъ церковнослужителей этого уѣзда, живутъ преимущественно съ уѣздниками да съ однимъ или двумя словесниками. Квартира съ пищею каждому обходится въ 4 и 5 рублей, если не допускается роскоши, какъ-то: не пьется чай, нѣтъ жаркого. По отъѣздѣ изъ деревни или села, сынъ получаетъ отъ матери пудикъ муки, которая отдается хозяйкѣ для печенія. Одной коврижки или булки уѣзднику достанетъ на три дня, а хозяйка экономничаетъ такъ, что пудъ муки достаетъ уѣзднику на двѣ или на три недѣли. Отецъ шлетъ каждый мѣсяцъ сыну 3 или 5 рублей—и сынъ покупаетъ самъ съ рынка коврижку ржаного хлѣба, калачей и молока, которое носитъ торговка изъ завода черезъ два дня. Вставши утромъ, семинаристъ съѣдаетъ ломтикъ хлѣба или калачъ, который стоитъ 1 к. сер., припивая молокомъ. Обѣдъ то же. Если у семинариста есть лишнія деньги, онъ покупаетъ говядины, крупы и картофеля, и хозяйка варитъ каждому или всѣмъ въ общихъ горшкахъ щи и кашу. Надо замѣтить, что семинаристы, живущіе на квартирахъ, дружны — у нихъ круговая порука. Всѣ знаютъ, что Попову отецъ прислалъ только два рубля, Поповъ издержалъ за квартиру 1 руб. и одинъ на щи и кашу съ хлѣбомъ и молокомъ, которыми угощалъ товарищей при безденежьи, то значитъ Попова надо посадить за общій столъ. Общій столъ состоитъ изъ общины. У каждаго семинариста есть мѣшочекъ съ крупой и мѣшочекъ съ хлѣбомъ или калачами; мясо хранится на хозяйскомъ погребѣ. Утромъ каждый вынимаетъ мѣшочекъ.

— Что сегодня, щи?

— Давай.

— У меня, братъ, смотри: выдуло!—и семинаристъ вывертываетъ на изнанку свой мѣшокъ.

— Ну, и вѣсь зубы на спичку.

— Елтонскій, дай горсточку!

— Ну, нѣтъ, братъ. Попроси у инспектора.

Всѣ хохочутъ, а семинаристъ чуть не плачетъ.

— Дай, Вася... отдамъ...

Вася колотитъ просителя по головѣ кулакомъ, прочіе тоже накладываютъ, приговаривая: «вотъ тебѣ щи, вотъ тебѣ каша»; а одинъ барабанитъ по спинѣ неимущаго кулакомъ, приговаривая: «каша наша, щи поповы»...

Оказывается, что только у одного семинариста есть крупа.

— Вы что же?—спрашиваетъ онъ товарищей.

— Дай! дай! дай!..—кричатъ товарищи.

Если товарищъ не даетъ крупы, крупу отнимаютъ силой, или заставляютъ его самого класть крупу въ горшокъ.

— Клади за меня!

— И за меня!

— Я двѣ горсти положилъ—будетъ.

— А за меня клалъ?

— Да будетъ двѣ горсти на всѣхъ.

— Какъ, братцы, по вашему: плутъ?

— Надувало, блинникъ!

— А за это что слѣдуетъ?

— Качать его *въ три лопатки!*

И семинаристы заставляютъ класть на всѣхъ по горсти, такъ что у него остается только горсть. Товарищи смѣются.

— Ничего. Проживемъ и на аржанушкѣ, а какъ получимъ отъ отцовъ—расквитаемся.

Случается, что отъ купленной только-что вчера на всѣхъ говядины 5 фунтовъ сегодня утромъ ни

чуточки въ погребѣ не оказалось. Это объявляетъ хозяйка. Приходитъ она въ комнату, гдѣ всѣ семинаристы въ сборѣ и уже съ книжками въ рукахъ собрались идти въ семинарію.

— Молодцы! Бѣда какая вышла!—говоритъ она, хлопая руками по бокамъ платья.

— А что!

— Да говядину-то вашу кошка, будь она проклятая, слопала.

— Какъ же такъ?

— А такъ, слопала—и все тутъ.

— А мы этой кошкѣ голову свернемъ!

— Ой, что вы, ребятушки! Мой буско такой умникъ и все...

— Да какъ же слопала-то? Поди, *плохо лежала?*

— Знаете ли: я вечоръ заперла его въ погребъ, потому, значитъ, хомяковъ тьма тьмущая. А мой буско гораздъ... одно слово—умникъ... Ну, и заперла, значитъ, на самый замокъ, какъ есть заперла. Прихожу сегодня утромъ за коровницей *)... Только знаешь ты, сударь ты мой, взглянула въ то мѣсто на полку, гдѣ ваша-то говядина была положена, взглянула—нѣту! Ахъ, пропасть! Пришла къ полкѣ, пощупала, вотъ этой правой рукой—нѣту! Эхъ, думаю, на моихъ молодцовъ все неудача... Ужъ я буска-то стегала, стегала ремнемъ, больно стегала... Воръ парень!

— Такъ какъ же теперь?

— Да не знаю. Говядины нѣту. Дадите денегъ—новой куплю.

— Вотъ тѣ и щи...

Одинъ запѣлъ: «воскресенія день, сѣла баба на пень»...

— Вы, хозяюшка, сварите изъ своей.

— Что вы, молодцы! изъ своей!.. нѣту! Не постояла бы... Право слово, нѣту, да и пятница сегодня.

— Купите, пожалуйста.

— Дайте денегъ.

— Да нѣтъ. Отцы не прислали.

— Эко дѣло. Я ужо сбѣгаю къ сосѣдкѣ: можетъ дастъ.

Хозяйка уходитъ, а семинаристы гвалтъ поднимаютъ. Одинъ говоритъ: «хозяйка украла», другой говоритъ: «она не въ первой воруетъ, надо уличить ее», третій кричитъ: «братцы, на другую квартиру съѣдемъ» и пр., наконецъ соглашаются, что на этой квартирѣ хорошо, хозяйка ласковая, часто на рынокъ ходитъ, не сердится, когда мы кричимъ и поемъ пѣсни, а если съѣла, такъ чортъ съ ней: намъ лучше, а жаловаться некому, да и не стоитъ.

Если у кого-нибудь есть щи или каша, то обѣдаютъ всѣ. При этомъ конечно хозяинъ приглашаетъ только своего друга: другъ этотъ проситъ товарища пригласить своего друга, да и хозяину совѣстно не пригласить остальныхъ, иначе онъ непріятности отъ нихъ наживетъ: сначала обѣдать ему не дадутъ въ удовольствіе, потомъ отомстятъ ему,—и обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ. Если ни у кого нѣтъ ни крупы, ни мяса, каждый ѣстъ ржаной хлѣбъ.

Бываютъ у этихъ семинаристовъ праздники тогда, когда къ одному изъ товарищей пріѣзжаетъ или отецъ, или братъ, или просто церковнослужитель родного села. Тогда этотъ господинъ съ самаго начала знакомится со всѣми семинаристами квартиры (живутъ на квартирахъ, въ одной комнатѣ или въ одномъ домѣ, уѣздники и словесники изъ одного села и братья родные, но это рѣдко, потому, во-первыхъ, что однопоселянъ мало, братьевъ тоже мало, и во-вторыхъ, философы и богословы живутъ отдѣльно отъ уѣздниковъ, какъ люди занятые высшими науками,—люди, готовящіеся въ священники или еще выше, и если у нихъ есть братья, то эти братья живутъ съ ними (но объ нихъ я скажу дальше); такой господинъ, познакомившись со всѣми семинаристами квартиры, даетъ денегъ своему родственнику подъ видомъ постоя на его квартирѣ, а если у него есть лишнія деньги, то даетъ и въ долгъ. Тогда покупаются на счетъ пріѣзжихъ разныя сласти, водка и угощаются всею компаніею. Тогда всѣ равны, и разгулъ—«что твоя малина»... Но это бываетъ всего нѣсколько разъ въ годъ.

Уѣздники—мальчики отъ 10-ти до 15-ти лѣтъ, словесники—старше годами. Тѣ и другіе бойкіе мальчики дома и въ классахъ до учителей, но случается, и при учителяхъ пошаливаютъ, что конечно имъ даромъ не проходитъ. Живя дома (въ селахъ) на волѣ, они и здѣсь на квартирахъ «на колѣ дыру вертятъ», потому что живутъ съ своими товарищами, къ нимъ ходятъ тоже товарищи, пріѣзжаютъ родственники. При родственникахъ или родныхъ они дѣлаются смирными, хотя у нихъ уже проявляются городскія наклонности; но часто ѣздятъ или останавливаются на этихъ квартирахъ причетники, дьячки и пономари, перепрашивающіеся съ мѣста на мѣсто, хлопочущіе о стихаряхъ, разные дьяконы по разнымъ дѣламъ, и съ этими людьми они *кутятъ*, т. е. пьютъ ихъ чай и водку, а иногда даже грызутъ орѣхи. Свою удаль и молодечество они проявляютъ другъ на другѣ: кто кого переборетъ, перехитритъ, перекричитъ, пересмѣшитъ. Отъ такой жизни многіе лѣнятся учить уроки, и хотя за ними слѣдятъ старшіе, ихъ сѣкутъ, оставляютъ безъ обѣда, но наука все-таки плохо прививается къ нимъ. Нельзя сказать, чтобы были всѣ такіе, есть между ними и хорошіе ученики. Все ихъ развитіе состоитъ въ заучиваніи учебниковъ, во всевозможныхъ играхъ, пѣніи духовныхъ и свѣтскихъ пѣсенъ, разговорахъ, касающихся предметовъ житейскихъ, и насмѣшкахъ надъ другими. Уѣздникъ умѣетъ передразнить встрѣчнаго и прохожаго, какъ онъ ходитъ, и даетъ ему какое-нибудь смѣшное прозвище, а иногда и въ глаза скажетъ ему неприличное слово. Это происходитъ отъ глупаго воспитанія и еще болѣе того—образованія. Въ селѣ мальчикъ видѣлъ крестьянъ, и своего отца считалъ выше ихъ; жизнь тамъ однообразная, развитія никакого. Здѣсь хотя и губерн-

*) Коровница—желѣзный или оловянный горшокъ, въ который доятъ изъ коровы молока.

скій городъ, и народъ развитѣе сельскаго и жизнь разнообразнѣе сельской, но мальчикъ знаетъ только свое общество, общество товарищей и ни самъ, и ни товарищи не знаютъ свѣтскаго губернскаго общества, и мальчикъ, воспитанный на духовныхъ (церковныхъ) началахъ, смѣется надъ этимъ обществомъ, завидуя мальчикамъ не семинаристамъ. И здѣсь на квартирахъ, такъ же какъ и въ бурсѣ, часто приходится сидѣть въ комнатѣ, потому что семинаристъ боится идти на городское гулянье, а о театрѣ и помину нѣтъ. Начальство зорко слѣдитъ за своекоштными и часто заглядываетъ на однихъ суткахъ въ ихъ квартиры. Начальство знаетъ, сколько живетъ въ этомъ домѣ семинаристовъ и кто живетъ. Приходитъ оно въ комнату и спрашиваетъ: —отчего не всѣ?

— На рынокъ ушли, — отвѣчаютъ семинаристы, хотя начальство придетъ въ одиннадцатомъ часу вечера. Черезъ четверть часа приходитъ фискалъ начальства, и если въ это время или еще черезъ часъ не придутъ ушедшіе, то ихъ на другой день выпорютъ и они будутъ значиться *«поведеніемъ безнравственный»*. Да если и удастся семинаристу быть въ театрѣ или на гуляньяхъ, то кто-нибудь изъ товарищей проболтается въ классѣ, и безнравственный получитъ порку и названіе поведенія *«худою»*. Каждый семинаристъ радъ, если попадется ему какая нибудь книжонка. У хозяевъ бываютъ книжки, отъ одной до десяти, пріобрѣтенныя отъ разныхъ жильцовъ за долги. Но эти книги или старые учебники, или въ родѣ «Милордъ англійскій», «Могила Маріи» и тому подобной дряни, которую каждый квартирантъ читаетъ съ жадностію разъ пять и больше, и хвалитъ. Если у кого есть деньги лишнія, тотъ покупаетъ книжки на толкучкѣ, но тоже книжки старыя, которыя не только не развиваютъ способности, но даже отбиваютъ охоту къ чтенію. Въ этомъ городѣ было нѣсколько библіотекъ, но эти библіотеки были недоступны ученикамъ по дорогой цѣнѣ, да и сами состоятельные семинаристы, жаждавшіе хорошаго чтенія, не могли получать книги изъ библіотеки: начальство не приказывало читать свѣтскія книги, и, узнавши, что семинаристъ «щелкоперъ», — читаетъ свѣтское, — страшно наказывало его, даже исключало; да и сами библіотекари не давали книгъ «мальчишкамъ», потому что книги терялись. Но эти библіотеки существовали назадъ тому годовъ шесть. Теперь тамъ существуютъ болѣе доступныя библіотеки, и каждый уѣздникъ можетъ читать, что̀ хочетъ. Какъ это сдѣлалось, я скажу сейчасъ.

Итакъ, назадъ тому годовъ шесть уѣздники были очень не развиты, и, кончивши науки въ уѣздномъ училищѣ, они въ словесности ровно ничего не понимали. То же было и съ Егоромъ Иванычемъ, и съ прочей братіей. Вступивши въ настоящую семинарію, молодые люди начинаютъ пренебрегать уѣздниками и живутъ съ ними только ради начальства или по крайней бѣдности. Каждый словесникъ непремѣнно хочетъ жить съ словесникомъ, для того, чтобы ему не мѣшалъ пискъ ребятъ и было удобнѣе учиться по реторикѣ и сочинять задачки. Словесники — сочинители, значитъ люди, начинающіе мыслить. Но что можетъ сочинять пятнадцатилѣтній юноша, когда онъ до сихъ поръ еще ничего не понялъ, уча реторику по книжкѣ «отсюда и досюда», когда учителя не въ состояніи объяснить, а только требуютъ задачекъ на темы. И учатъ, и читаютъ словесники словесность по старымъ книгамъ, и пишутъ на заданныя темы все труднѣе и труднѣе,— мучатся два года и поступаютъ въ философію съ перепутанными мыслями; никакой идеи нѣтъ, все какая-то безсмыслица, убожество, рабство какое-то. Давали и свѣтскія сочиненія для разбора, напримѣръ Пушкина, Лермонтова, а больше Карамзина и Ломоносова, но не всѣмъ; большая часть словесниковъ должны были списать какіе-то стихи, выучить и написать критику. Современныхъ изданій въ семинаріи не было; въ городѣ достать трудно, да и начальство дозволяло читать только проповѣди древнихъ писателей и извѣстныхъ іерарховъ, особенно почитаемыхъ духовнымъ міромъ...

Философы жили съ философами и богословами, занимая каждый по комнатѣ. Это были уже 18-ти—20-ти лѣтніе молодые люди, и на себя смотрѣли, какъ на дьяконовъ и священниковъ. Каждый своекоштникъ хотѣлъ свободы для своихъ занятій. Тутъ дружба была уже крѣпкая. Каждый старался высказать свое мнѣніе другому, каждый спорилъ по тому, что̀ онъ понялъ изъ науки, и каждый старался отличиться передъ товарищемъ. Тутъ ужъ уѣздники и словесники ни во что ставились.

Какъ въ философіи, такъ и въ богословіи преобладалъ схоластическій элементъ. Профессора, люди старые, старающіеся угодить начальству для полученія орденовъ и должностей повыше, держали молодыхъ людей по собственному своему разсужденію и требовали знанія по книгамъ. Чтеніе свѣтскихъ книгъ здѣсь строго запрещалось, а именно: читающій свѣтскія книги могъ быть исключенъ, а каково быть исключенному изъ богословія? Свѣтское общество совсѣмъ было закрыто для молодыхъ людей, и если они сталкивались съ нимъ на гуляньяхъ, то все-таки изъ кучки людей трудно что-нибудь составить... Но наконецъ и въ семинаристахъ проявилось свѣтское образованіе.

Семинаристы—народъ разговорчивый, но разговорчивый не со всѣми. Въ семинаріи онъ запуганъ, со свѣтскимъ робокъ, боится говорить, зная, что свѣтское общество считаетъ семинаристовъ за пьяный и забитый народъ. Такъ было по крайней мѣрѣ прежде. Прежде, исключенный изъ богословія поступалъ или въ почтальоны, или въ уѣздный судъ писцомъ, и это было назадъ тому шесть лѣтъ... Кто не знаетъ, что такое въ провинціи архіерейскіе пѣвчіе! Они учатся мало, потому, во-первыхъ, что ѣздятъ по губерніи съ архіереемъ, часто приглашаются на свадьбы, похороны и проч.; во-вторыхъ, они, получая квартиру, хорошую пищу, большіе доходы, пьянствуютъ, а науками не утруждаютъ себя, и въ будущемъ разсчитываютъ на то, что они всю жизнь останутся архіерейскими пѣвчими. А быть архіерейскимъ пѣвчимъ—вещь очень трудная. Уѣздникъ, по капризу регента, можетъ быть исклю-

ченъ изъ пѣвчихъ и выйдетъ конечно дуракомъ. Словесникъ и философъ—тенора—держатся, а богословы и съ худымъ голосомъ остаются и послѣ курса семинарскаго въ пѣвчихъ, поступаютъ дьяконами и все-таки поютъ въ хору.

Архіерейскіе пѣвчіе въ славѣ во всей губерніи, но больше въ губернскомъ городѣ, гдѣ они со свѣтскими знакомятся на свадьбахъ и похоронахъ при водкѣ. Сидя за столомъ при водкѣ, студентъ университета начинаетъ подпускать либерализмъ. Семинаристъ слышитъ что-то новое, смѣется, ругается, не вѣритъ. Его урезониваютъ фактами... «Поди ты къ чорту!» — кричитъ семинаристъ... Но знакомство уже началось со свѣтскимъ человѣкомъ: свѣтскій человѣкъ говоритъ толково, такъ, что ты его ничѣмъ не урезонишь. Правду говоритъ.—Да ты откуда знаешь? — спрашиваетъ семинаристъ. — «Насъ учили такъ. Наша литература открываетъ намъ глаза».—Врешь ты все.—«Да ты читалъ ли что?»—Нѣтъ.— «Такъ ты прочитай, а потомъ и суди»... Пѣвчему, тѣмъ болѣе архіерейскому, можно недѣлю не ходить въ семинарію по болѣзни, да и начальство туда не заглядываетъ каждый день, поручая слѣдить за ними эконому и надѣясь на самого владыку. Пѣвчій можетъ читать, что угодно, потому что нѣтъ начальства. Онъ прочтетъ хорошую книгу, и у него вдругъ является сомнѣніе въ своей наукѣ; онъ соображаетъ прошедшее и настоящее съ тѣмъ, что онъ видѣлъ у свѣтскихъ, гдѣ онъ бывалъ не десять разъ: ему кажется, что это такъ и должно быть, люди живутъ какъ-то не такъ, а я чему учусь? Сочиненіе читаютъ всѣ богословы, философы и словесники, оно разбирается и отъ одной умной головы переходятъ согласныя убѣжденія ко всѣмъ. У всѣхъ явилось сомнѣніе и недовѣріе; всѣ чувствуютъ это и сообщаютъ по секрету своимъ друзьямъ. А у молодыхъ людей, еще не проникнутыхъ новизной, сказалъ одинъ толково, резонно, и всѣ соглашаются съ его мнѣніемъ, разбираютъ и говорятъ «это такъ!». Сомнѣніе въ семинарской наукѣ распространилось по всей семинаріи, исключая уѣздниковъ. Стали семинаристы доставать секретно сочиненія Бѣлинскаго и Добролюбова, подписывались по 20-ти человѣкъ на одинъ билетъ въ биліотеку и доставали серьезныя книги; одинъ читалъ, всѣ слушали, разбирали, критиковали по своему; узнали настоящую жизнь и стали умнѣе... умнѣе своихъ профессоровъ. Профессора стали замѣчать что-то новое, неподходящее, и стали слѣдить за ними... Узнало начальство, что цвѣтъ семинаріи, надежда ея, читаетъ свѣтскія книги, да еще книги иностранныя, стало выхватывать, конфисковать эти книги, которыя или бросало въ печки или запирало въ свои шкафы... Молодымъ людямъ трудно было вынести это насиліе, но они ничего не могли сдѣлать съ властью... Такъ продолжалось два года. Но вотъ поступили профессорами пять академистовъ съ новымъ направленіемъ. Это были молодые люди. Они сразу поворотили науку по нынѣшней методѣ. Семинаристы съ перваго раза полюбили ихъ, и на лекціяхъ шла наука настоящая... Потомъ эти профессора, съ помощію всѣхъ богослововъ, философовъ и нѣсколькихъ словесниковъ, накупили книгъ и открыли публичную библіотеку въ городѣ, завѣдываніе которою принялъ на себя одинъ изъ профессоровъ. Всѣ семинаристы читали даромъ, и читали настоящую философію, настоящую науку... Они стали сочинять, завели свои журналы... Это продолжалось полтора года.

. . . . . .

Начальство стало жаловаться на молодыхъ профессоровъ. Семинарію закрыли.

. . . . . .

Ревизоръ, пріѣхавшій изъ Петербурга, нашелъ, что семинаристамъ можно читать свѣтскія книги...

Теперь тамъ дозволяется читать свѣтскія книги. Семинаристы, начиная съ уѣздниковъ, читаютъ русскіе журналы.

Егоръ Иванычъ платитъ за комнату два руб. въ мѣсяцъ уже четыре года. Отецъ исправно высылаетъ ему къ первому числу по восьми рублей. Такъ какъ на шесть рублей трудно содержать себя, то онъ утромъ питается молокомъ и кускомъ ржаного хлѣба, обѣдъ то же, иногда и щи, иногда и чай, но это бываетъ рѣдко, по праздникамъ, и то въ складчину съ другими семинаристами однокурсниками, живущими въ томъ же домѣ. Такъ какъ семинаристы, начиная со словесности, не играютъ въ карты, въ мячикъ и прочія игры, то Егоръ Иванычъ занимался постоянно книгами. Придетъ домой изъ семинаріи, поѣстъ, полежитъ на кровати, поговоритъ съ товарищами кое о чемъ и примется за лекціи. Если самъ чего-нибудь не понимаетъ, то совѣщается съ товарищами, и тѣ тоже совѣтуются съ нимъ. Товарищи мало сидѣли дома, они уходили къ другимъ товарищамъ или приводили на квартиру ихъ пріѣзжихъ дьяконовъ и священниковъ, и кутили. Егоръ Иванычъ рѣдко выходилъ изъ дому, онъ постоянно твердилъ книги, вычитывалъ, сочинялъ, переписывалъ лекціи и въ классахъ былъ вторымъ ученикомъ. За прилежаніе и хорошее поведеніе ректоръ избралъ его къ себѣ въ служки. Обязанность такая: одѣвать ректора въ церкви, т. е. надѣвать ризу, митру, и стоять при немъ при церковныхъ службахъ. Но это продолжалось съ мѣсяцъ. Въ это время богословы и философы читали секретно книги, и какъ всѣ богословы и философы любили Егора Иваныча за честность и за то, что онъ ни на кого не кляузничалъ, не фискалилъ, то стали его сбивать на новыя идеи. Сначала Егоръ Иванычъ только смѣялся.

— Полно вамъ, господа, переливать изъ пустого въ порожнее. Ну что вы толкуете то? Къ чему это?

— Ты тоже хорошъ, ты пойми то, что ты богословъ, хорошій ученикъ, народу будешь, можетъ быть, говорить проповѣди.

— Дакъ что?

— Дакъ что? Фофанъ ты эдакой!.. Стыдись!

Егоръ Иванычъ мало-по-малу сталъ стыдиться... Однажды онъ при народѣ какъ-то нечаянно уронилъ изъ рукъ ректорскую митру. За это его отставили отъ должности, въ поведеніи значилось

цѣлый годъ *неблагонадеженъ* и на цѣлый мѣсяцъ начальство дало ему такой искусъ: онъ долженъ былъ исполнять въ семинарской церкви должность старосты: ставить свѣчи, ходить по церкви съ кружкой и тарелкой. Въ послѣднее время ему туго приходилось, и онъ каждый день боялся того, чтобы его не исключили. Однако онъ кончилъ курсъ.

Утро. Егоръ Иванычъ сидитъ въ тиковомъ халатѣ у окна и читаетъ какой-то журналъ.

— Егоръ? — спросилъ его товарищъ изъ другой комнаты, Павелъ Иванычъ Троицкій.

— Что?

— Да нѣтъ чаю.

— Ладно и такъ.

— Ну, не то ладно. А скверно, братъ, денегъ нѣтъ ни гроша. Отецъ не посылаетъ. Придется сегодня обойтись на пищѣ св. Антонія.

— Я и самъ удивляюсь, что это сдѣлалось съ моимъ отцомъ. Вѣдь знаетъ, что нужно ѣхать.

— А славно мы теперь погуляемъ! Кончили, Егорушко, ученіе проклятое... Сколько мы годовъ учились!

— Много...

— Карьера открывается: ежели въ духовное — попъ, въ свѣтское — чиновникъ.

— Трудненько досталось намъ это.

— А я, братъ, еще буду учиться; съѣмъ всю науку до конца.

— Нѣтъ, я не стану учиться. Я много перенесъ,—будетъ.

— А сомнѣнья-то куда дѣлъ?

— Постараюсь бросить.

— Ну, братъ, коли твои мозги начали двигаться, сомнѣнья не заглохнутъ. Ты только что начиналъ понимать вещи и многихъ вещей не понялъ, потому что съ нашей семинарской наукой и не поймешь ихъ. У насъ стараются доказать, что мы съ своей наукой и кончили все, умниками стали... Конечно, мы грамматику хорошо знаемъ и изложить на бумагѣ умѣемъ, но что изложить? А заставь насъ по-свѣтски сочинить, и *твердо-онъ-то, да подперто*... Мы даже и говорить-то со свѣтскими не умѣемъ.

— Потому что мы духовные.

— Ужъ коли мы исполняемъ такія обязанности, проповѣдуемъ о добродѣтели, такъ намъ нужно все знать. Надо или заслужить довѣріе свѣтскаго общества, или вовсе не быть духовнымъ. Ужъ если быть учителемъ, такъ и вести себя по-учительски. А что мы знаемъ? Спроси насъ свѣтскій что-нибудь серьезное, мы и скажемъ: это воля Божья... А почему же мы-то не можемъ разъяснить? Вѣдь свѣтскіе разъясняютъ же? Стало быть, они умнѣе насъ...

— Я думаю, въ селѣ лучше жить. Тамъ общество проще. Крестьяне народъ славный.

— Хорошо. Ты и будешь жить тамъ всю жизнь: будешь ѣсть, да спать, да толстѣть...

— Буду говорить проповѣди.

— Семинарскимъ-то слогомъ? Да крестьяне не поймутъ тебя!—Немного помолчавъ, товарищъ продолжалъ:

— Въ деревню тебя манитъ простота народная... И заживешь ты по-крестьянски, съ тою только разницею, что тебя будутъ считать бариномъ, пожалуй еще выше; шапки будутъ снимать, въ поясъ кланяться, хлѣбъ будетъ готовый, сѣно готовое — добытое трудами крестьянъ... Ты теперь молодъ, ты любишь народъ. Сначала ты примешься говорить съ крестьянами ласково; учить дѣтей будешь по нынѣшнему; крестьяне полюбятъ тебя... Но повѣрь, эта привязанность охладится. У тебя будутъ дѣти, надо будетъ учить ихъ, заботиться объ нихъ; надо будетъ денегъ, ты и начнешь отставать отъ ладу съ крестьянами; озабоченный, ты будешь стараться обезпечить будущность своего семейства, будешь требовать съ крестьянъ то того, то другого... Теперь развитіе... Сначала ты будешь говорить по нынѣшнему, по-городски, а потомъ и это надоѣстъ, потому что тамъ не поймутъ, смѣяться будутъ, пожалуй еще будутъ говорить, что неприлично. Читать тамъ нечего, а если будешь выписывать журналы на крестьянскія деньги, такъ еще напишетъ кто-нибудь на тебя жалобу. Ты и бросишь все и будешь или лежать, или по грибы ѣздить, или будешь дѣлать то, что дѣлаютъ крестьяне.

— А развѣ это худо?

— Не худо по грибы ходить, да дѣлать наравнѣ съ крестьянами то, что и они дѣлаютъ. Жаль только, что молодость пропала. Еще ладно, что хоть обезпеченіе-то будетъ: мѣсто дадутъ. Вотъ только къ чему послужило наше долголѣтнее терпѣніе, а тамъ и будешь толстѣть на пользу своей утробы. Людямъ же ты никакой пользы не принесешь.

— Принесу.

— Въ тягость имъ будешь.

— Ну, и врешь!

— Ты, Егоръ Иванычъ, непремѣнно открой воскресную школу.

— Открою.

— Только учи по свѣтскому, эдакъ не прямо съ бухты барахты, а по легонечку имъ растолковывай... Впрочемъ, тебѣ бы и самому надо поучиться.

— Будетъ.

— Какъ знаешь. Да пожалуйста, какъ будешь учить ребятъ, розги и колотушки исключи.

— Не толкуй—знаю, что дѣлать.

Троицкій махнулъ рукой и ушелъ въ свою комнату. Троицкій былъ второго разряда и развитый на столько, что другой элементъ взялъ въ немъ перевѣсъ. Онъ сегодня собирается подать прошеніе объ исключеніи его изъ духовнаго званія.—«Пойду учиться въ университетъ, всю жизнь буду работать, дойду таки до настоящаго».

Поповъ не любилъ Троицкаго за его разсужденія, и у нихъ почти каждый день бывали споры и ссоры. «Къ чему это онъ говоритъ все? Вѣдь меня ужъ не передѣлаешь, не вышибешь изъ башки то, что въ семинаріи вбили въ нее... Да и лучше, — спокойнѣе. Пора и отдохнуть»... Поповъ даже хо-

тѣлъ переѣхать на другую квартиру, но онъ любилъ Троицкаго за что-то, особенно жалко было разстаться съ тѣмъ, съ которымъ онъ двѣнадцать лѣтъ жилъ вмѣстѣ.

Девять часовъ утра. Поповъ, одѣвшись, пошелъ въ почтовую контору. Тамъ спросилъ у почтальона, нѣтъ ли повѣстки или письма на его имя. Ни письма, ни повѣстки не было. Поповъ запечалился и пошелъ на берегъ къ тому мѣсту, гдѣ сидѣли на скамейкѣ двое пріѣзжихъ, одинъ въ рясѣ, другой въ подрясникѣ, которыхъ по одеждѣ трудно различить, кто они, потому что дьяконъ и священникъ носятъ рясы, а дьячки, пономари и причетники—подрясники. Поповъ всталъ невдалекѣ около нихъ.

— Вы секретарю сколько намѣреваетесь дать?— спрашивалъ подрясникъ.

— Да рублей пять. Столоначальнику рубля три надо.

— А я такъ право не знаю, что дѣлать.

— Воля Божья. — Оба собесѣдника замолчали и плачевно смотрятъ на рѣку.

Поповъ подошелъ къ нимъ, снялъ фуражку и проговорилъ:

— Здравствуйте. Вы откуда?

— Здравствуйте, — сказали собесѣдники и оба сняли шапки. Ряса подвинулась и проговорила:

— Просимъ покорно. Вы семинаристъ, если не ошибаюсь?

— Кончившій курсъ.

— Очень пріятно. Что же мѣсто получили?

— Нѣтъ еще. Даже не знаю, гдѣ вакансіи есть.

— Ну это плохо. Я тоже кончилъ курсъ назадъ тому годовъ семь, два года ходилъ въ консисторію, да въ архіерейскую канцелярію: едва нашелъ. А позвольте ваше имя и отчество?

— Егоръ Иванычъ Поповъ.

— Очень пріятно! Очень пріятно!.. Я дьяконъ единовѣрческой церкви въ Крестовоздвиженскомъ селѣ.

Слѣдуютъ распросы объ единовѣрцахъ и разсказы объ нихъ.

— Житья нѣтъ. Поэтому хочу перепроситься въ православные, хоть бы на причетническій окладъ.

По духовному вѣдомству священникъ выше дьякона, дьяконъ выше дьячка, носящаго стихарь, дьячокъ ниже пономаря, носящаго стихарь и т. д. Есть священники, отправляющіе службу по *сану*, но получающіе доходы наравнѣ съ дьякономъ, — это значитъ священникъ на дьяконскомъ окладѣ.

— Я, Егоръ Иванычъ, вотъ уже вторую недѣлю трусь здѣсь, сколько денегъ разсовалъ, служу я дьячкомъ, надо стихарь. Всего на всего осталось два рубля да тридцать копѣекъ—проговорилъ подрясникъ.

Дьяконъ захохоталъ.

— Подумаешь, и дѣло-то пустое: стихарь надо. Сколько въ службѣ?

— Одиннадцатый годъ.

Дьяконъ мотнулъ головой, въ знакъ удивленія, и впился глазами въ Егора Иваныча.

— Каково?

— Плохо. А вы гдѣ обучались?

— Изъ причетническаго класса исключенъ.

Дьяконъ угостилъ собесѣдниковъ нюхательнымъ табакомъ, который Егоръ Иванычъ нюхалъ изрѣдка.

— А вотъ что, Егоръ Иванычъ, поѣзжайте въ Милютинскъ, тамъ, знаете ли, женскій монастырь есть и при немъ воспитанницы.

— Знаю.

— Ну, вы сначала къ владыкѣ сходите, чтобы онъ разрѣшилъ вамъ вступить въ законный бракъ съ воспитанницей и послалъ туда указъ. А тамъ настоятельница сама изберетъ вамъ невѣсту и мѣсто дастъ.

— Я письмо отъ отца жду.

— А вашъ батюшка кто?

— Заштатный дьяконъ.

— Что же, невѣсты тамъ есть?

— У священника дочь годовъ осьмнадцати.

— Вотъ и дѣло. Значитъ дѣло за мѣстомъ.

— А я бы изъ монастыря взялъ,—сказалъ дьячокъ.

— А вы женаты, Павелъ Максимычъ? — спросилъ дьячка дьяконъ.

— Женатъ, семеро дѣтей, малъ-мала меньше...

— У меня тройка... Изъ монастыря оно конечно хорошо, можно въ городѣ мѣсто получить, а городское житье не въ примѣръ лучше сельскаго, въ особенности въ такомъ городѣ, какъ Милютинскъ.

— Я пожалуй не прочь, только бы состояніе имѣла.

— Ну, тамъ, я вамъ скажу, дадутъ вамъ приданое, да сто рублей денегъ, и больше ничего. Да и дѣвица-то, сказываютъ, того-съ... не надежная...

— Это плохо.

— А ваша невѣста, позвольте спросить, богатая?

— У меня еще нѣтъ невѣсты.

— Полноте шутить! Давеча сказали, что у священника вашего дочка есть.

— Да вѣдь кто же ее знаетъ?

— Дѣловъ не имѣли?—Дьяконъ захохоталъ.

— Да какъ вамъ сказать: прежде игрывали вмѣстѣ, но дѣлъ никакихъ не было; въ прошлое лѣто она гостила у тетки, а въ третьемъ годѣ я здѣсь въ больницѣ пролежалъ всю вакацію.

— Больше у священника нѣтъ дѣтокъ женскаго пола?

— Есть двѣ дочери: одной тринадцать лѣтъ, а другой седьмой.

— Недоростки!

Молчаніе. Дьячокъ вдругъ обращается къ Егору Иванычу.

— Знаете ли что?

— Что?

— Вчерась я былъ въ консисторіи. Смотрю, сторожъ газету читаетъ. Каково? Сторожъ газету читаетъ и хохочетъ... Мнѣ показалось больно смѣшно, грѣхъ те заѣшь!.. Подхожу къ нему и спрашиваю: «что, Никифоръ Иванычъ, изъ Москвы пишутъ: усмирили ли враговъ?» Онъ и говоритъ: «да ничего

такъ, ужъ больно занятно»... «Дайте, говорю, Никифоръ Иванычъ, газетки почитать». «Нельзя», говоритъ. Я ему далъ двугривенничекъ, уступилъ и показалъ на одно мѣсто: «вотъ, говоритъ, жениха вызываютъ», и хохочетъ... Я думаю, что же тутъ? Ну, надѣлъ очки и читаю, и что же, Егоръ Петровичъ...

— Егоръ Иванычъ,—подсказалъ дьячокъ.

— Извините, Егоръ Иванычъ... Ну-съ... На чемъ, бишь, я остановился?.. Да. Ну, читаю... Въ Воронежской губерніи, знаете ли, въ какомъ-то уѣздѣ (я было записалъ уѣздъ-отъ, да потерялъ, либо на папироски сжегъ съ пьяна) дьяконъ умеръ, а у вдовы осталось четыре дочери. Вотъ она и подала просьбу консисторіи. Должно быть, консисторія не нашла жениховъ и напечатала цидулку или *указъ*, какъ тамъ по свѣтскому—не знаю, что-де, кто дѣвицу Анну, 22 лѣтъ, т. е. сестру старшую, возьметъ замужъ, за тѣмъ и мѣсто останется... Каково? Благая мысль. Вотъ мы живемъ въ захолустьи и ничего не слышимъ, а здѣсь все можно узнать. Благая мысль. Махните-ко! А?

— Далеко.

— А сколько верстъ?

— Да верстъ тысячи двѣ.

— У-у! Экая даль, Господи помилуй.

— Я мекаю, поди, теперь туда много жениховъ-то наѣхало,—замѣтилъ дьячокъ.

— Въ экую-то даль?

— А своя-то губернія?

— Точно, точно... Ваша правда, Павелъ Максимычъ.

Чтобы удостовѣриться въ томъ, какъ скоро знакомятся между собою, духовные, не видавшіе другъ друга никогда и живущіе другъ отъ друга на разстояніи 200—300 верстъ, нужно зайти въ крестовую церковь или въ каѳедральный соборъ во всенощную или къ обѣднѣ, когда служитъ архіерей. Тутъ собраны лица духовнаго вѣдомства почти со всей губерніи. Тутъ вы увидите протоіерея въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ, монаховъ, снимающихъ свои камилавки и скуфьи и клобуки во время главныхъ молитвъ, славословій и священнодѣйствій, священниковъ (которыхъ можно отличить по крестамъ 1853—1856 годовъ), дьяконовъ, или, проще, лицъ личнаго дворянства духовнаго вѣдомства, и подрясниковыхъ дьячковъ, пономарей и причетниковъ. Въ церкви ихъ человѣкъ 20. Они знакомятся такъ.

Подходитъ священникъ къ протопопу и становится рядомъ. Священнику хочется свести знакомство съ протопопомъ для того, чтобы *прозрѣть*, каковы тамъ мѣста. Но какъ заговорить съ протопопомъ? Священникъ вынимаетъ табакерку, щелкаетъ пальцами по крышкѣ и крякнетъ... Знай, молъ, нашихъ!.. Протопопъ оглядывается въ сторону священника. Священникъ раскрываетъ табакерку и говоритъ: «не желаете ли-съ?»

— Пожалуй!—Протопопъ беретъ въ два пальца табаку и нюхаетъ. Знакомство началось.

— Вы откуда?—спрашиваетъ протопопъ.— Слѣдуетъ отвѣтъ.— Зачѣмъ, почему, ну какъ?— Дальше—приглашеніе придти на квартиру...

Если протопопъ брезгуетъ табаконюханьемъ, то священникъ начинаетъ атаку иначе. Онъ слегка толкнетъ протопопа, будто нечаянно, потомъ скажетъ, «извините-съ!» Посмотритъ на протопопа и скажетъ заискивающимъ голосомъ:

— Вы, отецъ протопопъ, давно здѣсь?—Послѣ отвѣта слѣдуетъ опять вопросъ—зачѣмъ, и ну, а какъ дѣла? Послѣ отвѣта: «какъ сажа бѣла», слѣдуетъ приглашеніе.

У священниковъ, дьяконовъ, дьячковъ и прочихъ обращеніе иное. Священникъ боится подойти къ протопопу: кто его знаетъ, кто онъ такой? а однорясники обращаются запросто, потому что священника трудно различить отъ дьякона, если онъ не имѣетъ знака отличія. Тутъ знакомство начинается такъ:

— Мое почтеніе! (слѣдуетъ дерганье за рясу).

— Мое вамъ...

— Изъ далече?

И прочее.

У дьяконовъ и прочихъ придаточныхъ еще проще:

— Ты откуда?

— Оттуда.

— Перепрашиваться?

— Да.

— А я стихарь хочу получить.

— Шишь получишь.

Пріѣзжій сразу видитъ своего брата пріѣзжаго, знаетъ, что какъ онъ самъ, такъ и собратъ его пріѣхали по нуждѣ и церемониться нечего, во-первыхъ потому, что душу отведешь съ сельскими людьми, а во-вторыхъ, что отъ нихъ можно узнать: нѣтъ ли гдѣ хорошаго мѣста.

Въ церкви много толковать нельзя. Въ церкви хотя и знакомятся, но знакомство это ни къ чему не ведетъ, и обѣщаются съ обѣихъ сторонъ угощенія. Знакомство въ консисторіи и архіерейской прихожей доходитъ даже до дружбы, до одолженія деньгами. Чтобы потолковать, пріѣзжіе толкуютъ, гдѣ попало, а больше на квартирахъ, гдѣ непремѣнно угощаются чаемъ и въ особенности водкой.

Егоръ Иванычъ съ дьякономъ и дьячкомъ пошли въ консисторію. Тамъ въ прихожей, называемой коридоромъ, что называется—содомъ и гоморра. Человѣкъ двадцать разнокалиберныхъ лицъ въ разнокалиберныхъ костюмахъ, съ палками и безъ палокъ, съ разноцвѣтными кушаками, поясами и просто «опоясками». Говоръ непомѣрный и басы, и тенора, и дискантики, и прочіе неописанные, но натуральные голоса переливаются въ прихожей вмѣстѣ съ кашлемъ, кряканьемъ, которымъ рѣдкій изъ духовныхъ не одержимъ, начиная съ словесности, и сморканьемъ. Сторожъ въ военной формѣ сидитъ на диванѣ и, посматривая то на того, то на другого, ухмыляется. Онъ дестевой зашиваетъ *).

— Вѣрно мы съ носомъ?—говоритъ протопопъ протопопу, сидя на диванѣ.

— Я жаловаться стану.

---

*) Дестевымъ называется казенная посылка—книги или бумага въ 2—5 фунтовъ, зашитыя въ холстъ.

*

— Ну, наши жалобы ко вреду нашему послѣдуютъ.

— Это досадно, цѣлый часъ члена нѣтъ. На вашихъ который?

— Да двѣнадцатый, поди... — Протопопъ вынулъ часы изъ-за пазухи, посмотрѣлъ и сказалъ:— Безъ двѣнадцати двѣнадцатый.

— Какъ подошло-то?

— Аккуратно.

Оба смѣются.

— Владыка ничего?

— Ты, говоритъ, не печалься. Сына твоего знаю, говоритъ... А вамъ?

— Отчего, говоритъ, ты тутъ не живешь? Я и говорю, ваше в-во, народъ нынѣ тутъ хуже сталъ, никакая рѣчь не дѣйствуетъ, даже съ крестомъ не стали принимать...

— Поди-кось!.. Это правда, отецъ протопопъ. Народъ нынче совсѣмъ развратился, развратился такъ... Жалко! — и говорившій это сдѣлалъ такую гримасу, что, смотря на его бороду и небольшую не заросшую волосами часть лица съ носомъ и глазами, слушавшій ихъ бѣдный дьячокъ подумалъ, что протопопа или владыко пугнулъ, или у него только животъ крѣпко болитъ.

— Ну-съ, а владыко на это какъ рекъ? — сказалъ протопопъ.

— Ну, я говорю ему: не могу я жить въ этомъ городѣ, лучше, говорю, въ губернскій переведите. Онъ и говоритъ: «объ этомъ я подумаю»...

— Я слышалъ, васъ представили къ наперсному?..

— Отъ кого изволили слышать?

— Слухомъ земля полнится, отецъ протопопъ. Говорятъ, будто скоро надѣвать его на васъ станутъ.

— Ой вздоръ! охъ неправда! Вотъ что значитъ: какіе у меня недоброжелатели!...

— Протопопъ протопопу или священникъ протопопу, и наоборотъ, ни за что не скажутъ правду: зачѣмъ они пріѣхали въ городъ. Зачѣмъ пріѣхали— знаютъ члены и секретарь консисторіи, экономъ архіерейскій и самъ владыка; хотя же и знаютъ семинаристы-богословы и пріѣзжіе священники и прочая мелюзга, такъ развѣ хозяева, у которыхъ они остановились, подслушавъ разговоры ихъ съ секретаремъ, и сами пріѣзжіе на волѣ съ своими дѣтьми калякаютъ, разсказываютъ имъ. Говорятъ люди, что они таятъ причины пріѣзда до поры до времени по личнымъ причинамъ, по зависти.

Дьяконы и дьячки кричатъ.

— Ну-ка, отецъ дьяконъ, дай-кось табачку понюхать!

— Маловато.

— Ну-ну, нечего отнѣкиваться-то! У тебя, я знаю, хорошее вѣдь мѣсто.

— Вотъ за это слово я тебѣ и не дамъ. Шишъ получишь!—И дьяконъ отходитъ прочь.

— Да что это, Господи помилуй, какъ долго?— говорятъ человѣкъ шесть.

— Эй, сторожъ, впусти!—проситъ сторожа священникъ.

— Пущать не велѣно.

— Какъ не велѣно?

— Не велѣно и все тутъ.

Протопопы ушли въ канцелярію. За ними пошли и священники. Сторожъ въ мигъ подбѣжалъ къ дверямъ и сталъ посереди ихъ.

— Отчего ты не пускаешь?

— Не велѣно.

— Почему?

— Говорятъ, много всякихъ шляется. Отцомъ Антономъ не приказано... Вонъ тутъ надпись была приклеена, да изъ вашей братьи кто-то оборвалъ.

— Ты намъ кого-нибудь пошли оттуда.

— Кого я пошлю! Вонъ столоначальникъ-то Гавриловъ трои сутки безъ просыпу пьетъ и дома что есть не живетъ, ищи его,—съ семи собаками не сыщешь.

— Ты писца пошли али помощника.

— Есть когда мнѣ посылать. У меня дѣловъ-то и безъ васъ вонъ сколько!—сторожъ указалъ на уголъ, въ которомъ лежали книги.

Одинъ священникъ далъ сторожу 20 коп.

— Какъ ваша фамилія?

— Документовъ.

Сторожъ ушелъ въ канцелярію и черезъ двѣ минуты воротился, сказавъ, чтобы священникъ шелъ за нимъ.

Столоначальникъ въ это время былъ въ консисторіи; не пускать къ нему не въ извѣстное время— былъ капризъ и сторожа, и самого столоначальника. За 10 и 20 коп. просители были вводимы въ канцелярію или къ нимъ выходили писцы и удовлетворяли ихъ. Выходившіе шептались со стоявшими у дверей канцеляріи.

— Ну, что?

— Десять человѣкъ на одно мѣсто.

— Врешь?

— Вотъ тѣ Богъ!

— А я было хотѣлъ на это же мѣсто проситься... Такъ куда теперь думаешь?

— Не знаю. Спрашивалъ мѣста, завтра велѣлъ придти, записалъ фамилію.

— Сколько дали?

— Три рублика.

— Экая прорва! Вѣдь эдакъ ему сколько надаютъ! А у секретаря не были?

— Нѣтъ... Тамъ членъ сидитъ да протопопы.

— А я указъ получилъ... Вотъ онъ!—говоритъ весело выходящій дьяконъ.

— Поздравляемъ.

— Покорно благодарю. Пожалуйте ко мнѣ на закуску.

— А гдѣ ваша квартирка?

— Вмѣстѣ пойдемте... Вотъ онъ, указъ-то. Думаете, дешево сталъ? Двадцать четыре цѣлковика... За то мѣсто, говорятъ, такое хлѣбное...

— Ну, и слава тѣ Господи!

Сторожъ подходитъ къ дьякону съ указомъ и поздравляетъ.

Дьяконъ даетъ 20 коп. Половина терпящихся въ корридорѣ уходитъ за дьякономъ.

Егоръ Иванычъ вошелъ въ канцелярію и подошелъ къ столоначальнику.

— Что скажете?

— Позвольте васъ побезпокоить...

— Ну-съ... Вы кто такой?

— Я только-что кончилъ курсъ богословія по 1-му разряду.

— Въ священники или дьяконы хотите?

— Въ священники.

— Священническія мѣста всѣ заняты.

— Я слышалъ, что въ Куракинскомъ уѣздѣ много мѣстъ священническихъ.

— Надо справиться.

— Пожалуйста... Отецъ у меня бѣдный, я тоже бѣдный.

— Теперь мнѣ некогда.

— Когда прикажете придти?

— Черезъ недѣльку.

— Мнѣ не на что жить здѣсь.

— Вы вотъ что сдѣлаете,—сказалъ другой столоначальникъ:—подайте просьбу владыкѣ, онъ напишетъ резолюцію, чтобы мы представили ему справку, а между тѣмъ понавѣдывайтесь.

— Очень хорошо. Только я не знаю, какъ составить просьбу.

Черезъ четверть часа Егору Иванычу дали лоскутокъ бумаги, на которой была написана форма просьбы. За это сочиненіе съ него попросили денегъ; Егоръ Иванычъ отдалъ послѣднія 20 к. За то онъ пришелъ домой очень обрадованный.

Дома никого не было. Поэтому Егоръ Иванычъ отправился къ богословамъ Клеванову, Попову и Панкратьеву, живущимъ на одной квартирѣ. У тѣхъ кутежъ.

— А! Егоръ Иванычъ,—привѣтствовали Егора Иваныча товарищи.

— Это, отецъ Семенъ, нашъ однокурсникъ, перваго разряда.

— Очень пріятно! Имѣю честь рекомендоваться, Патрушинскаго уѣзда, Егорьевской церкви священникъ Семенъ Павловичъ Мухинъ.—Священникъ подалъ руку Егору Иванычу.

— Давно изволили пріѣхать, отецъ Семенъ?

— Сейчасъ, сію минуточку.

— А зачѣмъ пріѣхали?

— Антиминсъ надо получить. Указъ получилъ изъ консисторіи.

— Ну, вы, отецъ Семенъ, не скоро отдѣлаетесь отъ консисторіи,—сказалъ Панкратьевъ.

— Какъ-нибудь. Пожалуйте, Егоръ Ивановичъ, водочки.

— Я не пью-съ.

— Ну-ну. Надо привыкать-кавыкать *).

— Онъ у насъ фаля какая-то. Все училъ да училъ лекціи.

— Похвально. А ничего, попробуйте!—священникъ выпилъ свою рюмку.

Егоръ Иванычъ выпилъ и закусилъ. Стали обѣдать. За обѣдомъ шелъ разговоръ о домашнихъ священника Мухина, о мѣстахъ и невѣстахъ.

— Какъ вамъ сказать. Въ нашемъ уѣздѣ мѣстъ таки много есть. Въ Знаменскомъ селѣ дьяконъ переведенъ, и мѣсто еще не занято.

— Да мы въ дьякона не пойдемъ,—отозвались кончившіе курсъ семинаріи.

— И не стоитъ. Священнику лучше житье. Вотъ бы, къ слову, я. Я теперь старшій въ селѣ, а служу всего-то четыре года и бороды еще не отростилъ. Ну, сначала подъ началомъ былъ, да какъ того перевели въ другое мѣсто, я и сталъ старшимъ, потому что другой-то священникъ кончилъ курсъ по второму разряду и восемь лѣтъ служилъ дьякономъ. Жить можно. Умѣй только съ приходомъ обращаться. Теперь училище я тоже къ себѣ забралъ, по 15 руб. въ мѣсяцъ получаю.

— Такъ у васъ нѣтъ поближе къ вамъ мѣстовъ?

— Какъ нѣтъ. Въ городѣ двѣ священническія вакансіи; въ Моховскомъ заводѣ священникъ на этой недѣлѣ умеръ; въ Тимофеевскомъ, говорятъ, подъ судъ попался.

— Вотъ и дѣло. Значитъ на всѣхъ четверыхъ мѣста есть.

— Надо только, господа, не зѣвать. Завтра же пишите прошенія и подавайте владыкѣ.

— А мнѣ обѣщались сказать, гдѣ есть мѣсто,—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, на нихъ вы не надѣйтесь. Вѣдь они знаютъ, что вы человѣкъ бѣдный, и скажутъ такое село, гдѣ кромѣ жалованья вы ничего не получите. А у нашего брата расходовъ пропасть. Благочинному надо дать; за метрики надо... Бѣда.

— Которыя же изъ этихъ лучше?

— Въ Моховскомъ лучше всѣхъ. Да туда мой тесть хочетъ перепрашиваться, чуть ли ужъ и прошеніе не послалъ.

— А ваше село каково?

— Ничего. Народъ, знаете, только бѣдный.

— Ну, а насчетъ невѣстъ не знаете?

— Да у отца Петра Колотушинскаго, въ Крестовоздвиженскомъ, двѣ дочери.

— Стары?

— Одной 24, а другой 19-й годъ. Онъ ничего, зажиточный.

— Отчего же онѣ засидѣлись?

— Видите ли, дѣло въ чемъ. Онъ уже выдалъ двухъ дочерей: та, которой двадцать четыре года, больно некрасивая и къ тому же хромая; а у этой бѣльмо на одномъ глазу. И радъ бы спихать—никто не беретъ.

— Да кой чортъ эдакихъ калѣкъ возьметъ?

— Ну-съ, у моего тестя есть дочка, Глафира Сидоровна. Ничего, красивая. Годовъ шестнадцать.

— Никто не сватается?

— Приказчикъ заводскій сватался, да не отдаетъ. Всѣмъ хотѣлось, каждому особо, жениться на Глафирѣ Сидоровнѣ.

— Такъ какъ, отецъ Семенъ?—спросилъ Клевановъ.

— Что?

— Насчетъ невѣсты-то?

---

*) Слово кавыкать вѣроятно взято отъ грамматическаго значка „кавычка". Оно произносится на веселѣ, какъ слово хитрое—экъ ты накавыкался, т. е. напился. Оно больше произносится при словѣ привыкать. Если кому въ жизни не везетъ, то онъ говоритъ: э, ужъ не впервые привыкать-кавыкать. Стерплю, молъ еще.

— Хотите сосватаю?

— Куды ему съ его рыломъ соваться!—сказалъ Поповъ 2-й.—Лучше мнѣ сосватайте.

— Вы, господа, лучше прежде всего мѣста найдите, а за невѣстами дѣло не станетъ. Не нашедши мѣста, нельзя жениться.

— Хотя бы старуху какую, только бы мѣсто получить за ней,—сказалъ Клевановъ.

— Плохой вы знатокъ въ этомъ случаѣ. Вотъ здѣсь поди сколько невѣстъ-то!

— Невѣстъ много, да и развратницъ не мало,—сказалъ Егоръ Иванычъ:—мѣщанку брать не стоитъ, потому что необразована и бѣдна; изъ военнаго сословія брать не дозволено; купчиха не пойдетъ, а чиновницы—франтихи, заважничаютъ скоро.

— Да, плоховато. А вѣдь, я думаю, у владыки есть просьбы отъ вдовъ.

— Какъ, поди, нѣтъ.

Долго Егоръ Иванычъ сидѣлъ у пріятелей, и бесѣда шла все въ этомъ же родѣ. Дома Павелъ Иванычъ отдалъ ему почтовую повѣстку, въ которой значилось, что Егору Иванычу слѣдуетъ получить 8 р. сер.

— Ты, Егоръ, напередъ получи письмо, а потомъ ужъ и подавай прошеніе,—сказалъ вечеромъ Троицкій своему товарищу.—А я, братъ, уже подалъ прошеніе вмѣстѣ съ десятью человѣками, которыхъ ты знаешь. Я, Илюшка Спекторскій, Иванъ Бирюковъ, двое Кротковы ѣдемъ въ университетъ; впрочемъ Бирюковъ въ медицинскую академію хочетъ; Петрушка Кротковъ не знаетъ куда. Ему, видишь ты, хочется и въ духовную академію, вѣроятно въ архіереи мѣтитъ. Я, говоритъ, жениться не буду.

Егору Иванычу жалко стало Троицкаго.

— Ты, Паша, не ѣзди.

— Нельзя. Вѣкъ няньчиться съ тобой невозможно. А если я и буду жить съ тобой, то я не хочу, чтобы ты въ метрикахъ писалъ... Ты пожалуй сердиться послѣ будешь на меня... Нѣтъ ужъ, Богъ съ тобой, не стану тревожить твои мозги; живи себѣ на потребу и на пользу людямъ... Ты будешь приносить пользу, только мой трудъ можетъ быть тяжелѣе твоего будетъ...

— Не хвастайся.

Троицкому обидно сдѣлалось, но онъ смолчалъ и ушелъ изъ дому на всю ночь. Егоръ Иванычъ всю ночь не спалъ. Ему хотѣлось скорѣе получить письмо, узнать, что пишетъ отецъ про его невѣсту, Степаниду Ѳедоровну,—жениться, получить мѣсто, посвятиться... И при всемъ этомъ переборѣ мыслей, при представленіи всего этого по частямъ и вообще, сердце стучало, чувствовалась какая-то радость и какой-то трепетъ.

— Помоги мнѣ, Господи!—шепчетъ Егоръ Иванычъ, глядя въ уголъ и на небо, и чувствуетъ въ это время, что онъ весь предался этой молитвѣ, точно голову приподняло кверху, душа куда-то возносится со словами: Господи помоги!—Буду я тебѣ вѣрный слуга и добрый пастырь.—Но тутъ же Егору Иванычу опять представляется настоящее положеніе, консисторія, женитьба, дѣти и прокрадываются какія-то нехорошія мысли...

Почтовыя конторы выдаютъ деньги семинаристамъ не иначе, какъ по сдѣланнымъ на повѣсткахъ удостовѣреніямъ семинарскаго начальства, какъ-то: подписи ректора или инспектора и скрѣпы письмоводителя и съ приложеніемъ печати семинарскаго правленія. Утромъ Егоръ Иванычъ отправился въ семинарское правленіе. Василій Кондратьичъ, письмоводитель правленія, былъ друженъ съ Поповымъ и не задержалъ повѣстку. Онъ даже самъ снесъ ее къ ректору для подписки, но скоро воротился.

— Ступай, тебя ректоръ зоветъ.

— Зачѣмъ?

— Не знаю. Только смотри не робѣй, да замолви объ мѣстѣ: онъ любитъ, чтобы его просили.

Егоръ Иванычъ пошелъ къ ректору. Ректоръ пилъ чай съ ромомъ. Егоръ Иванычъ подошелъ подъ благословеніе къ ректору и отошелъ къ дверямъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Ну, Поповъ, что скажешь?—спросилъ ректоръ, лукаво и строго глядя на Егора Иваныча.

Егоръ Иванычъ не зналъ, что сказать на такой вопросъ, и переминался съ ноги на ногу, поправляя то галстухъ, то засовывая лѣвую руку за глухо застегнутый сюртукъ.

— Не хочешь ли и ты сдѣлаться скотомъ безсмысленнымъ, подобно тѣмъ десяти болванамъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше высокопреподобіе.

— Никакъ нѣтъ-съ... Что же?—я держать не стану. Худая трава изъ поля вонъ.

— Я никогда не думалъ выходить изъ духовнаго званія, ваше высокопреподобіе.

— Отчего же бы и не выйти? Жизнь веселая, разгулъ, развратъ. А тамъ что?

— Тамъ адъ.

— Что же, и хорошо! Мы васъ учили, всѣ старанія употребили на то, чтобы вы были истинными, достойными сынами нашей церкви, подготовляли васъ къ пастырской обязанности; а вы за все это зломъ намъ отплачиваете... О, злые плевелы! Будете каяться, да послѣ смерти нѣсть покаянія.

— Ваше высокопреподобіе, я никогда не увлекался этими людьми, хотя они и старались всячески совратить меня.

— А Троицкій!

— Онъ только жилъ со мной на квартирѣ; и вотъ вамъ доказательство, что я вышелъ вторымъ по первому разряду и, не слушая его совѣтовъ оставить духовное званіе, съ нетерпѣніемъ жажду получить санъ священника.

— Я забиралъ о тебѣ, Поповъ, свѣдѣнія частнымъ образомъ, и мнѣ говорили о тебѣ въ послѣднее время, что ты исправляешься. Дай Богъ! Это доказываютъ твои задачки. Можешь ли ты быть священникомъ?

— Могу.

— Я бы попросилъ владыку послать тебя въ духовную академію вмѣстѣ съ Кротковыми, но Крот-

ковы исключаются по прошенію ихъ отцовъ; за это имъ будетъ выговоръ отъ владыки, яко за совращеніе юношей. Тебя же я боюсь послать потому, что ты закружишься въ большомъ городѣ, совратишься и уйдешь туда же, куда уходятъ и прочіе болваны.

— Я, ваше высокопреподобіе, не желаю учиться.

— Конечно, если бы ты по окончаніи курса получилъ магистра, ты въ духовномъ званіи могъ бы быть и епископомъ.

Ректоръ отдалъ Егору Иванычу повѣстку, уже подписанную имъ.

— У тебя отецъ богатый?

— Нѣтъ-съ. Онъ заштатный дьяконъ.

— Стало быть, и надо призрить отца. Можетъ быть и у тебя будутъ дѣти, тогда самъ узнаешь, каково это бремя.

— Я батюшку никогда не забуду.—Егоръ Иванычъ подумалъ: «что это онъ сегодня размазываетъ?»

— Ваше высокопреподобіе!—приступилъ Егоръ Иванычъ къ ректору: — позвольте побезпокоить васъ насчетъ мѣста.

— Въ этомъ дѣлѣ я едва ли могу быть ходатаемъ.

— Я справлялся въ консисторіи, но тамъ ничего мнѣ не сказали, а на эти восемь рублей я ничего не сдѣлаю.

— Терпѣніе, сынъ мой.

— Ваше высокопреподобіе, мнѣ надо за квартиру платить, ѣсть нужно.

— Позанимайся въ консисторіи.

— Не могу.

— Почему?

— Тамъ даже сторожъ беретъ съ бѣдныхъ причетниковъ за то, чтобы онъ вызвалъ столоначальника или писца.

— Объ этомъ судить не твое дѣло. Впрочемъ я подумаю.

— Когда я могу надѣяться получить милостивый отвѣтъ вашего высокопреподобія?

— Зайди ко мнѣ часу въ первомъ. Въ двѣнадцатомъ я пойду къ владыкѣ и переговорю съ нимъ.

— Прошеніе подавать не прикажете?

— Ахъ да! Поди въ правленіе, напиши и отдай мнѣ. Только послушай, Поповъ: я тебѣ дѣлаю великую милость, единственно изъ любви христіанской. Если ты будешь замѣченъ въ чемъ нибудь, тогда ты не сердись на меня... Иди.

Егоръ Иванычъ бѣгомъ пустился по корридору въ семинарское правленіе, крестясь и говоря: «слава Богу! слава Богу! Ну, теперь пошла! Экое счастье!»

Дѣйствительно, Егору Иванычу повезло, и повезло отъ того во-первыхъ, что изъ 23 богослововъ, кончившихъ курсъ, 10 подали просьбы объ увольненіи изъ духовнаго званія, что̀ слишкомъ взбѣсило и ректора, и высшую власть, а не уволить ихъ не было никакой возможности, такъ какъ богословы могли или жаловаться губернатору, или—чего добраго — прибѣгнуть къ гласности, и во-вторыхъ, ректоръ любилъ Попова за скромность, и въ это утро именно думалъ объ немъ: что то будетъ съ этимъ лицемѣромъ? Если онъ уйдетъ, то и всѣ уйдутъ въ свѣтскіе... Ректоръ даже дошелъ до того: что̀, если всѣ семинаристы каждый годъ будутъ выходить въ свѣтскіе? кто же будетъ священниками и дьяконами? Не будь этакихъ мыслей и того, что надо бы всѣхъ скрутить да опредѣлить на мѣста, Егоръ Иванычъ прождалъ бы мѣста года два и пожалуй бы вышелъ въ свѣтскіе, что случалось и случается теперь. Егоръ Иванычъ—исключеніе; но духовное начальство по крайней мѣрѣ такъ должно бы поступать: если окончившіе курсъ богословія желаютъ получить мѣста священника или дьякона, то въ тотъ же мѣсяцъ и посвящать ихъ въ эти должности, а то начальству никакого нѣтъ дѣла до окончившихъ курсъ. Самъ студентъ ходитъ въ консисторію выпрашивать мѣсто, тратитъ деньги, голодая безъ занятій, проситъ архіерея; но у архіерея просьбъ много, на одно мѣсто бываетъ 5—10 просителей, большею частію перепрашиванья дьяконовъ во священники, дьячковъ во дьяконы, и на этихъ господъ больше обращается вниманія консисторіей, куда сдаются ихъ прошенія, и они скорѣе получаютъ мѣста, потому что каждый день трутся то въ консисторіи, то въ прихожей у власти, и, имѣя деньги, получаютъ мѣста и званія тѣ, кто больше дастъ письмоводителю, секретарю консисторіи, столоначальникамъ,—тогда какъ студенты, не имѣя денегъ, за дьяконскимъ мѣстомъ ходятъ по консисторіи годъ, а прежде и пять лѣтъ ходили.

Теперь другой вопросъ. Священникъ и дьяконъ не могутъ быть холостыми. Этотъ законъ установленъ вѣроятно потому, чтобы размножить духовное сословіе. Благодаря этому закону и праздной жизни этого сословія, дѣтей дѣйствительно много размножилось. У рѣдкаго священника или дьякона нѣтъ дѣтей мужского и женскаго пола. Кромѣ священниковъ и дьяконовъ есть еще пономари, причетники и дьячки, большая половина которыхъ тоже женатые и у рѣдкаго изъ женатыхъ нѣтъ дѣтей. Плодовитость этого сословія всякому извѣстна; рѣдкій изъ бѣлаго духовенства не жалуется, что у него куча ребятъ, и эта то куча ребятъ поѣдомъ ѣстъ бѣднаго отца. Въ каждой семинаріи, положимъ среднимъ числомъ, учится 500 человѣкъ юношей, да въ духовныхъ уѣздныхъ училищахъ и въ уѣздныхъ городахъ до 300 мальчиковъ въ каждомъ училищѣ, да въ домахъ еще есть одинъ или два ребенка мужского пола. Вдовецъ или долженъ идти въ монахи, или жить тише воды, ниже травы вдовцомъ на старомъ мѣстѣ, или же выйти въ свѣтскіе. Въ первомъ случаѣ дѣти призрѣваются начальствомъ, или остаются на попеченіи родственниковъ, или, въ особенности дѣвицы, когда нѣтъ родственниковъ, поступаютъ въ монастырь, оттуда рѣдкія выходятъ замужъ только за духовныхъ, а бо̀льшая часть остаются монахинями... Стало быть, самое главное для ставленника—это женитьба. Егоръ Иванычъ правъ, сказавши что изъ городскихъ очень трудно выбирать невѣстъ.

Искать невѣстъ въ губерніи дѣло довольно трудное. Сыну городского церковно-служителя легче найти невѣсту въ городѣ у своего же брата или у

чиновника, а не то у сельскихъ. Сельскіе часто переходятъ съ мѣста на мѣсто, т. е. уѣзжаютъ, и дочери выдаются замужъ почти за перваго попавшагося жениха изъ духовнаго званія, смотря по тому, стòитъ ли женихъ невѣсты: пономарская дочь выходитъ за пономаря, дьячка и дьякона, дьяконская—за дьякона и священника, протопопа, если бѣдная,—то и за дьякона или за свѣтскаго чиновника, а такихъ дѣвицъ, съ которыми бы семинаристъ росъ, очень мало, потому что отцы не всегда уживаются на одномъ мѣстѣ, да и семинаристу нужно богатую невѣсту.

Положеніе женщины въ этомъ сословіи незавидное. Каждую дѣвицу уже съ восьми лѣтъ называютъ невѣстой, копятъ на нее приданое, т. е. пухъ на перину и подушки, бѣлье, холстъ, деньги. Сама дѣвица тоже знаетъ, что она должна будетъ выйти замужъ за священника или дьякона, и въ этихъ лѣтахъ безсознательно готовится къ этой участи. Жена сельскаго священника или дьякона, взятая изъ села же, прежде готовилась къ хозяйничанью, къ воспитанію дѣтей. Первый годъ супружества идетъ хорошо; она, что называется, какъ сыръ въ маслѣ катается: мужъ ее ласкаетъ, крестьяне и крестьянки любятъ и называютъ ее *матушкой*, хлѣба много, прислуга есть. Ходитъ она всегда довольная, румянная, здоровая. Рождается ребенокъ. Вся забота матери заключается теперь на ребенкѣ: она сама кормитъ его грудью, сама качаетъ зыбку съ ребенкомъ, моетъ его, а хозяйственныя обязанности предоставляются мужу, или свекрови, или матери, смотря по тому, кто изъ старшихъ родныхъ живетъ съ ней. Черезъ годъ опять ребенокъ. Первый ребенокъ идетъ на руки къ роднымъ женщинамъ матери, а сама мать няньчится съ другимъ ребенкомъ. Черезъ годъ опять ребенокъ. Первый ребенокъ уже бѣгаетъ, кричитъ *тятя*, *мама*, *бука* и прочія слова, усвоенныя имъ отъ частыхъ произношеній родителями и родными. Мать начинаетъ тяготиться дѣтьми, т. е. она уже охладѣла къ нимъ; ей нѣтъ покоя отъ нихъ ни днемъ, ни ночью; они кричатъ, ревутъ, капризничаютъ, и все идетъ три года и будетъ идти еще, можетъ быть, долго. Ее ужасаетъ эта обуза, но она все-таки няньчится съ послѣднимъ ребенкомъ, предоставляя первыхъ на произволъ родни. Мать этой матери, старушка, всегда бываетъ добра и нѣжна съ дѣтьми. Она ихъ любитъ потому, что представляетъ себѣ ихъ такими же, какою была ея дочь, теперь мать ихъ. Поэтому дѣти всегда любятъ бабушку и перенимаютъ отъ нея ея понятія. Но всегда оказывается, что у бабушки очень немудреныя понятія. Она только хорошо знаетъ, какъ щи сварить, какъ посмотрѣть за огородомъ, гдѣ кринка съ молокомъ на погребѣ стоитъ, да съ крестьянина Максима надо бы получить *долгу* малёнку [1]) овса, лукошко яицъ. Но бабушка большею частію хозяйничаетъ, бѣгаетъ по селу; а какъ бабушки не вездѣ бываютъ, то ребенокъ растетъ подъ вліяніемъ тетушекъ, сестричекъ, которыя его бьютъ, ругаютъ, ставятъ на колѣни и подвергаютъ различнымъ искусамъ. Шести и семилѣтнихъ дѣвушекъ отецъ и мать учатъ читать по церковной азбукѣ, писать. Наука заканчивается тѣмъ, что дѣвушка умѣетъ шить, пріучается стряпать, знаетъ, какъ няньчиться съ дѣтьми, умѣетъ читать церковную и гражданскую печати, плоховато писать — крупными каракулями. Свѣтскія книги не водятся у родителей, они запрещены самими родителями, да и въ селѣ негдѣ взять книгъ. Дѣвушка воспитывается въ страхѣ божіемъ; боится родителей, дѣлаетъ все, что они прикажутъ, ходитъ въ церковь, и сидитъ дома, потому что гулять по селу не въ модѣ, въ гости ходить, кромѣ священника, дьякона, становового (если онъ есть) да волостного головы, не къ кому. Двѣнадцатилѣтняя дѣвушка выглядываетъ 15-лѣтней. Она помогаетъ стряпать, возится съ ребятами, рѣдко играетъ въ куклы и плетки, присматриваетъ за хозяйствомъ, шьетъ, моетъ, и становится почти что полуработницей и полухозяйкой въ дому и полуженщиной. Все ея удовольствіе заключается въ томъ, что она можетъ съ подругами попѣть свѣтскія пѣсни, получить похвалу отъ родителей за то, что при гостяхъ вела себя не очень застѣнчиво, сходить съ подругами и сестрами въ лѣсъ по ягоды и по грибы, покосить траву на покосѣ. Ей хочется простору, но ее тяготитъ домашняя обстановка, обязанности не по силамъ, буйный характеръ отца. Всякій знаетъ, что духовенство любитъ выпивать, даже въ монашескомъ быту. Рѣдкій семинаристъ не пьетъ въ кругу товарищей. Отчего же не пить и послѣ? Нашъ народъ любитъ выпивать; крестьяне большею частію сближаются съ священниками посредствомъ водки. Непьющій священникъ можетъ угодить крестьянамъ въ такомъ только случаѣ, когда онъ угоститъ ихъ на славу, такъ что все село сразу полюбитъ священника. Если священникъ, положимъ, непьющій, не угоститъ крестьянъ ни разу въ годъ, крестьяне станутъ оказывать ему уваженіе снятіемъ шапокъ, принесеніемъ *долга* натурой, но въ душѣ будутъ бояться его; у нихъ явится недовѣріе къ нему; они будутъ тяготиться имъ и назовутъ гордымъ; кромѣ того всячески будутъ слѣдить за его домашнею жизнью. Хорошій священникъ непремѣнно угощаетъ крестьянъ и волей-неволей долженъ пить съ ними.—Положимъ, священникъ не пьетъ годъ. На другой годъ ему скучно, онъ не знаетъ, что бы ему дѣлать? Читать свѣтскія книги онъ не можетъ, потому что ихъ негдѣ взять, да онъ пожалуй и читать ихъ не станетъ. Онъ начинаетъ входить въ апатію; ему на доѣдаютъ и жена, и дѣти. Онъ привыкаетъ пить водку передъ обѣдомъ и ужиномъ, послѣ которыхъ спитъ. Водка ему идетъ на пользу, и онъ усиливаетъ порціи...

Дѣвушка знакома съ обществомъ своего села. Она знаетъ, что въ селѣ какихъ-нибудь пять человѣкъ изъ мужчинъ не пьютъ водку. Ее мучатъ сцены матери съ отцомъ, она понимаетъ, что это гадко, и думаетъ: неужели и мужъ мой будетъ пьяница?

[1]) Малёнкой называется дуплянка (т. е. выдолбленное сосновое или липовое дерево на подобіе кадки), въ которую входитъ пуда три или четверикъ муки, овса или крупы.

Она плачетъ... Плачетъ потому, что знаетъ, что ей непремѣнно слѣдуетъ выйти замужъ.

Что такое любовь, дѣвушка понимаетъ такъ, какъ ее научили понимать любовь: выйти замужъ по закону, жить съ мужемъ, угождать мужу, родить дѣтей, воспитывать дѣтей... Жена знаетъ, что она у мужа нахлѣбница, что она безъ мужа ничего не сдѣлаетъ.

Въ вакаціи и зимнія каникулы въ село пріѣзжаютъ семинаристы и ученики духовныхъ уѣздныхъ училищъ, дѣти священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ. Мальчики и юноши ведутъ себя смирно, застѣнчиво. При встрѣчѣ съ дѣвушкой смотрятъ въ землю, краснѣютъ; дѣвушка тоже. Семинаристъ о любви не знаетъ, онъ только знаетъ: «она красивая». Онъ знаетъ еще и то, что ему еще долго учиться, и Богъ знаетъ, что тогда будетъ, и о женскомъ полѣ онъ не мечтаетъ, благо и кромѣ женскаго пола много удовольствій, какъ-то: рыболовство, лазанье по деревьямъ, грибы, ягоды, спанье на свѣжемъ воздухѣ, ѣда всласть. Приглашаютъ семинаристовъ и въ тѣ дома, гдѣ есть взрослыя дѣвицы, приглашаютъ ради новостей губернскихъ, поютъ чаемъ и красной водочкой; но приглашаютъ въ отсутствіи дѣвицъ, зная, вѣроятно, что онъ еще ученикъ, и ему еще много учиться, да и при дѣвицахъ семинаристъ ведетъ себя застѣнчиво: смотритъ въ полъ или на отца священника или матушку, а дѣвица смотритъ на него и думаетъ: «мой мужъ долженъ на тятеньку походить»... А тятенькото весь бородой обросъ... Вотъ она, любовь-то семинарская!..

Встрѣчаются иногда юноши и дѣвицы въ лѣсу, когда собираютъ грибы и ягоды, но дѣвицы бѣжатъ прочь, а юноши стыдятся того, что встрѣтились съ дѣвицей. Семинаристъ знаетъ, что дѣвица ихъ званія выйдетъ замужъ за духовнаго, но теперь онъ боится съ ней говорить, зная, что онъ вовсе не женихъ, такъ какъ ему до окончанія курса еще пять лѣтъ, да у него и худой мысли нѣтъ: «нельзя, думаетъ онъ: грѣхъ»... Дѣвица держится подъ страхомъ родителей. По пріѣздѣ семинаристовъ— «слышишь, дѣвка, — говоритъ ей мать, — какъ встрѣтишь ты шелопаевъ, бѣги отъ нихъ. Иначе всю шкуру тебѣ сдеру!»—и дѣвушка боится преступить этотъ законъ. Дѣвушка знаетъ, что ей съ пономарскимъ сыномъ знакомиться не слѣдуетъ, и дьяконскія дочки съ пономарскими сынками видятся только изъ окна въ окно...

Городскія дочери немного развитѣе. Но тамъ отцы еще строже и гости-семинаристы бываютъ рѣже. Тамъ ждутъ жениховъ, что называется, хорошихъ, т. е. академистовъ—лицъ, у которыхъ отцы имѣютъ вѣсъ въ губернскомъ городѣ.

Свадьбы бываютъ такъ. Семинаристъ, узнавши, что тамъ-то есть невѣста богатая, пріѣзжаетъ въ село къ дьячку или пономарю. Въ селѣ всѣ вмигъ узнали, зачѣмъ пріѣхалъ студентъ, и знаетъ, конечно, невѣста. Къ матери невѣсты посылается сваха, которая выпрашиваетъ приданое. Черезъ день смотрины. Дѣвица никогда не видала этого мужчину, онъ ей не нравится, но она должна согласиться выйти замужъ за него, потому что онъ будетъ дьячкомъ или священникомъ, и родители приказываютъ. Черезъ день обрученье, а черезъ недѣлю и свадьба. Коротко и ясно... Впрочемъ, на свадьбахъ весело, но только не невѣстѣ. Ну, а тамъ пойдетъ и весело, и скучно...

Получивши письмо и деньги, Егоръ Иванычъ въ конторѣ же прочиталъ письмо. Вотъ, что писалъ отецъ его:

«Дражайшій мой сынъ Егорушка!

«Письмо твое, отъ 18-го іюня сего года, мною полученное 3-го іюля, я прочелъ съ полнѣйшею радостію и исполнился неописанною радостію. Слава Создателю, Царю небесному! что благополучно все обошлось, и ты кончилъ сей терминъ. Ничего, Егорушка, не дремли... Терпѣніе и трудъ все перетрутъ, пословица говорится. Поступишь на мѣсто, возблагодаришь Творца и мнѣ спасибо скажешь: не дуракомъ, молъ, меня отецъ сдѣлалъ. Глаза на старости лѣтъ, какъ стану умирать, закроешь... Ахъ, Егорушка! Старость не радость, здоровье слабо. Хочешь сходить къ заутрени въ храмъ Божій, немочь дьявольская претитъ, добро бы каждый день заутрени были, а то въ двѣ недѣли разъ бываютъ, а всенощныя рѣдко. Ты знаешь. Скука, Егорушка. Жду не дождусь, когда ты въ священники посвятишься.

«Посылаю тебѣ, Егорушка, мое родительское благословеніе. Дѣлай ты, Егорушка, по закону Божію; бойся со страхомъ и трепетомъ Царя небеснаго! Имъ же вся быша и безъ него ничего же есть.

«Мѣстовъ у насъ нѣтъ, а тебѣ, знаю, въ городъ хочется. Дай Богъ, дай Богъ, Егорушка. Хлопочи. Я ужо продамъ домишко, самъ пріѣду къ тебѣ, да Петруху захвачу съ его женой; пусть порадуются на краснаго сокола. Какую же ты рясу-то сошьешь? Чай поди еще волосы не отросли. А ты послушай меня, волосы-то деревяннымъ масломъ мажь—скорѣе отростутъ. Не мѣшаетъ и подбородокъ брить. Знаешь, благообразнѣе какъ-то.

«Отецъ Ѳедоръ тебѣ кланяется и тоже неописанно радуется. Стефанида Ѳеодоровна кланяется. Она 2-го числа іюля сочеталась законнымъ бракомъ съ нашимъ становымъ приставомъ Максимомъ Васильичемъ Антроповымъ. Старенокъ онъ, 56 годковъ, да ничего, богатъ больно.

«Прощай, Егорушка. А невѣсту будешь искать, ищи богатую. А какъ найдешь, напиши мнѣ и я старыя кости къ тебѣ привезу. Буди на тя благословеніе мое отъ нынѣ и до вѣка.

Твой отецъ Іоаннъ Поповъ».

Письмо это поставило въ тупикъ Егора Иваныча. Дѣло въ томъ, что онъ послѣдніе два года надѣялся жениться на Степанидѣ Ѳедоровнѣ. Она ему очень нравилась, хотя разговоровъ между ними было очень мало, а о любви и заиканья не было. Досадно сдѣлалось, что его воображаемая невѣста замужъ вышла за старика, станового пристава.

Старику-отцу въ селѣ дѣлать было нечего. Служилъ онъ въ церкви по охотѣ, пенсіонъ получалъ небольшой, съ пашни и покосу тоже мало приходилось. Жена умерла назадъ тому два года, сынъ Петръ дьякономъ за сто верстъ, дочь Анна тоже замужемъ въ этомъ же селѣ за пономаремъ, отъ котораго ему житья нѣтъ, потому что пономарь пьетъ и воруетъ у него деньги. Дѣлать положительно нечего. Зимой весь день лежитъ, или возится съ дѣтьми сына, поетъ ирмосы и разные каноны и ребятъ заставляетъ пѣть. Лѣтомъ весь день на улицѣ. Встанетъ въ пятомъ часу (а онъ спитъ въ сараѣ), пойдетъ на дворъ, подмететъ, приберетъ кое-что и выйдетъ на лужайку,—грѣется противъ солнышка. Долго сидитъ старикъ, мурлыча охриплымъ старческимъ голосомъ пѣсни, глядя куда-то вдаль и изрѣдка понюхивая табакъ. Убаюкаетъ старика солнышко, согрѣетъ, и заснетъ старикъ, растянувшись на мягкой травѣ. Подойдетъ къ нему корова, лизнетъ его лицо или руку, высунувшуюся изъ-за халата, накинутаго на плечи, лизнетъ своимъ жесткимъ, какъ терка, языкомъ, проснется старина, приподнимется, перекрестится и скажетъ: «тпрука! тпрука! упруконька! Э, матонька!»... Погладитъ рукой по ногѣ корову и опять ляжетъ. Увидѣвъ крестьянина, крестьянку, или мальчика, или дѣвушку, онъ непремѣнно подзоветъ ихъ къ себѣ и начнетъ калякать. Въ особенности онъ ребятъ любилъ, до того, что въ бабки съ ними игрывалъ, почему всѣ съ нимъ обращались запросто и отъ семилѣтняго до 45-ти лѣтняго всѣ называли «дѣдушкой». Увидятъ ребята, что на завалинкѣ стародьяконовскаго дома нѣтъ стараго дьякона и говорятъ:—«дѣдушка нездоровъ», и бѣгутъ навѣдаться къ нему, но ихъ гоняетъ со двора мужъ Анны или сама Анна. Увидятъ дѣдушку на завалинкѣ и кричатъ: «дѣдушка! дѣдушка! Хошь въ бабки?»

— Не могу, ребятки, спину разломило.

— А по грузди пойдемъ?

— Ноженьки болятъ.

— Пойдемъ, дѣдушка! Пойдемъ...

И обступятъ его человѣкъ двадцать молодого поколѣнія. Дѣдушка никогда не отказывался отъ путешествія по грибы и ягоды. Ходитъ, бывало, съ ребятами цѣлый день, ничего не насобираетъ по слѣпотѣ. Ребята смѣются надъ нимъ и насобираютъ ему наберуху и дотащатъ эту наберуху до села. Но главное удовольствіе старика было игра въ шашки. Въ шашки умѣли играть: волостной писарь, сборщикъ податей, голова и двое богатыхъ крестьянъ. Игра производилась съ четвертаго часа пополудни на улицѣ, передъ домами, и продолжалась до темноты. За игрой старикъ весь оживалъ, дѣлался боекъ, разговорчивъ, смѣялся, передразнивалъ.

— Я те, собаку, запру въ гнилушку—и не выскочишь. Матрену позовешь—и та никоимъ образомъ не вытащитъ, хоть сто вервей иностранныхъ подай.

Бахвалится старикъ, а прочимъ любо. Играющихъ обступали женщины, мужчины и дѣти.

— Не застуй! не застуй!—ворчитъ старикъ:— при свѣтѣ-то ему стыднѣе въ гнилушку попасть.

Всѣ смѣются.

Если противникъ его попадется въ гнилушку, старикъ хохочетъ во все горло.

— Что? каково? Наткось, скушай! Чѣмъ пахнетъ?.. А я, погоди, тебѣ задамъ двѣнадцать съ кисточкой.

Если его самого запрутъ, старикъ сердится и ругаетъ глазѣющихъ.

— Это все отъ васъ божеское напущеніе!.. Одна курва между вами есть, сглазила.

Всѣ хохочутъ. Голова или противникъ тоже дразнится. Старикъ еще хуже; стыдно ему, а оправдаться нечѣмъ.—Ничего,—говоритъ онъ:—это я такъ, для развлеченья. Теперь я задамъ...

Но однообразіе сельской жизни надоѣло старику; ему хотѣлось ѣхать въ другое мѣсто, и онъ ждалъ только случая жить съ Егорушкомъ, котораго онъ очень любилъ. Петруха былъ пьяница и жена его капризливая, поэтому онъ не могъ жить у нихъ болѣе двухъ недѣль.

Егору Иванычу ничего не оставалось больше дѣлать, какъ искать невѣсту *гдѣ-нибудь*. Но отъ кого онъ узнаетъ, гдѣ невѣсты? На товарищей надѣяться нечего: они сами себѣ ищутъ невѣстъ. Осталось одно—прибѣгнуть къ совѣту ректора.

Въ первомъ часу Егоръ Иванычъ отправился къ ректору.

— Ну, Поповъ, много ты мнѣ надѣлалъ хлопотъ. Его в-во долго не соглашался замѣстить тебя на священническое мѣсто, однако я уговорилъ его.

— Покорнѣйше благодарю васъ, ваше в-іе.

— Прошеніе твое онъ оставилъ у себя и обѣщался назначить тебя въ городъ Столешинскъ, въ знаменскую церковь.

Егоръ Иванычъ, сіяя отъ радости, низко поклонился ректору.

— Городъ, говорятъ, бѣдный, но ты будешь все-таки священникъ, и притомъ городской; нужно только быть добродѣтельнымъ, настоящимъ пастыремъ своихъ заблудшихъ овецъ.

— Постараюсь, ваше в-іе.

— Это еще не все. Его в-во велѣлъ передать тебѣ, что ты не иначе удостоишься священническаго сана, пока не скажешь слова во время его службы.

— Очень хорошо-съ.

— Если ты хорошо напишешь и понравится его в-ву слово, онъ посвятитъ тебя, а если напишешь дурно, посвятитъ въ діаконы.

— Очень хорошо-съ. На какую тему прикажете-съ.

— Владыкѣ хочется, чтобы ты сказалъ слово о блудномъ сынѣ. Въ этомъ словѣ ты проведи нашу жизнь, уподобляющуюся жизни блуднаго сына, выскажи, что самъ Богъ печется о насъ, въ особенности о дѣтяхъ; раскаявшимся кровъ даетъ. При этомъ изобрази и то, что бдительное начальство всѣми благими мѣрами заботится объ юношествѣ, какъ Господь о дѣтяхъ, а нераскаявшимся обѣщаетъ геену огненную. Закончи такъ: «о, христіане! близокъ часъ, въ онь же Сынъ Человѣческій пріидетъ со славою судити живыхъ и умершихъ. Что мы речемъ ему, грѣшніи?» Потомъ воззваніе ко Христу

Спасителю: «Ты, Христе, спасаешь раскаявшихся, обрати и насъ ко свѣту заповѣдей твоихъ и пріими насъ во царствіе Твое, яко блуднаго сына». Понялъ?

— Понялъ.

— Теперь иди. Когда напишешь, принеси мнѣ. Да постарайся принести черезъ день. Напиши больше и вездѣ вставляй мѣста изъ евангелистовъ и апостоловъ; хорошо сдѣлаешь, если приведешь цитаты изъ Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и прочихъ вселенскихъ учителей.

— Очень хорошо.

— Ну, теперь иди съ Богомъ.

Придя домой, Егоръ Иванычъ увидѣлъ на столѣ, въ комнатѣ Троицкаго, двѣ бутылки съ простой водкой, узелъ съ калачами и свертокъ бумаги. Въ этомъ сверткѣ онъ увидѣлъ новую книжку журнала

«Ну, подумалъ Егоръ Иванычъ, затѣваютъ что-то». Троицкаго не было дома. Егоръ Иванычъ любилъ читать только беллетристику, но прочія статьи читать у него не было терпѣнія, короче сказать, онъ не понималъ ихъ.

Пришелъ Троицкій съ двумя бумажными узелками, въ одномъ изъ которыхъ были колбаса и печенка, а въ другомъ чай и сахаръ.

— А, Павелъ Иванычъ!—сказалъ Поповъ и поздоровался, т. е. пожалъ руку Троицкаго.

— Какой и тонъ-то! Ну, что? Баръ, или екъ.

— Баръ.

— Вотъ какъ! Какими судьбами?

— Ректоръ...

При этомъ словѣ Троицкій строго взглянулъ на Попова,—не вретъ ли онъ, или какимъ образомъ ректоръ могъ помочь дѣлу.

— Не врешь?

— Еще бы! Слушай, что было.

— На папироску и разсказывай, только безъ прикрасъ.

Поповъ началъ разсказывать похожденія двухъ дней.

— Ну, что же, хорошо,—сказалъ Троицкій по окончаніи разсказа Попова.—Въ сорочкѣ родился... А я, братъ, учиться! Тебѣ это не по нутру... Радуюсь, что мѣсто получилъ, только—слово? Съумѣешь сочинить?

— Только не мѣшайте, пожалуйста. Вѣдь однѣ сутки остались.

— Не безпокойся. Мы тебя не введемъ во искушеніе. Егоръ Иванычъ! Егорушка! товарищъ... Вѣдь намъ всѣмъ жалко тебя, больно... Э, да что толковать!.. Ну, твои дѣла, значитъ, что называется, въ шляпѣ. Попъ, братъ, ты. Благослови, отче...

— Бога бы ты постыдился...

. . . . . .

— Егоръ Иванычъ, вотъ что: а жена?

— Найдемъ!..

— А?

— Не спросимъ вашего брата.

— Однако жена... Ты пойми: что̀ такое мужчина и женщина? Что̀ такое по твоему мужчина и женщина?

Егоръ Иванычъ сначала подумалъ, что говорить съ Троицкимъ не стоитъ, потому что онъ переспоритъ его, а всѣ его резоны «ровно ни къ чему не ведутъ». Однако онъ сказалъ:

— Да что съ тобой толковать! Ты человѣкъ свѣтскій, я духовный. По нашему, жена должна быть помощницей мнѣ, должна уважать меня... повиноваться мнѣ.

— Та женщина, которую ты теперь не знаешь?

— Женщина противъ насъ ничто.

— Что?!

— Плевокъ.

— Подлецъ ты Поповъ.

Егора Иваныча зло взяло.

— Говорить я съ тобой не хочу... Убирайся вонъ, иначе ректору скажу.

— На это, г. Поповъ, я вамъ скажу вотъ что: во-первыхъ, я не уйду потому, что квартиру я снимаю не у васъ; во-вторыхъ, я ректора не боюсь, такъ какъ подалъ въ отставку изъ вашего сословія.

Поповъ молчитъ и ходитъ по своей комнатѣ.

— Егоръ Иванычъ, на что вы сердитесь-то?

Молчаніе... Троицкій вошелъ въ его комнату. Поповъ не смотритъ на Троицкаго.

— Егорушка! а двѣнадцать лѣтъ дружбы?..

Это тронуло Попова.

— Ты мнѣ теперь не можешь быть товарищемъ.

— Знаю почему; но головы на отсѣченіе не дамъ. Егоръ Иванычъ, къ чему эти ссоры? Вѣдь мы ссорились раньше за идеи и мирились, но не такъ, какъ теперь. Вѣроятно ты потому сердишься, что скоро получишь мѣсто; но, братъ, у тебя еще задача—слово. Подумай!

— Не тронь меня, Троицкій.

— Не буду трогать. Дай лапочку!

Друзья поцѣловались.

— Славный ты, Егоръ, будешь попъ. Дай Богъ тебѣ успѣха да брюхо ростить, ребятъ меньше. Только вотъ тебѣ просьба: не трогай насъ, твоихъ товарищей; не говори проповѣди на воздухъ. Ты лучше печатай что-нибудь въ «Духѣ Христіанина» или «Православномъ Обозрѣніи», тогда тебя будутъ читать и семинаристы, и отцы разные. Пиши дѣло, настоящее, говори прямо, а на старинныя идеи не упирайся.

— Знаемъ, какъ дѣлать.

— А знаете, такъ и знайте...

Начали собираться товарищи. Собралось человѣкъ восемь, выпили по рюмочкѣ водочки, закусили.

— Давайте читать.

Начинается чтеніе. Всѣ слушаютъ и молча смотрятъ то на Троицкаго, то на книгу. Если что кому-нибудь не понравится и кто-нибудь не пойметъ чего-нибудь, слѣдуетъ остановка: «Стой! онъ вретъ».

— Нѣтъ, не вретъ!..

— Объясни!

Слѣдуетъ объясненіе.

— Прочитай снова!

Послѣ чтенія опять споръ. Каждый критикуетъ по-своему, подъ конецъ соглашаются.

— Ужели и съ нами то же будетъ?

— Ну, братъ, мы не такіе люди. Мы имъ утремъ носъ.

— Чѣмъ?

— Утремъ!

— Эхъ, господа! . . . . . .

— Я думаю, намъ легко будетъ учиться въ университетѣ. Заучивать трудно. Теперь вотъ мы читаемъ и разъясняемъ сами, потому что разъяснить здѣсь некому, а тамъ умные-то люди на лицо, своими ушами будемъ ихъ слушать. А вѣдь мы, братцы, въ теченіе двухъ лѣтъ читанья мало еще поняли.

— Надо догонять.

— Ѣдемъ!

— Кто ѣдетъ?

Пять человѣкъ сказали «я». Это были Спекторскій, Бирюковъ, Троицкій и двое Кротковыхъ.

— А вы?—спросилъ Троицкій у остальныхъ.

— Мы служить будемъ. Губернаторъ уже обѣщался дать мѣста,—сказалъ Клевановъ.

— Куда же, господа, ѣхать?—спросилъ Петръ Кротковъ, красивый юноша, 20 лѣтъ.

— Да ты куда думаешь?

— Батюшка совѣтуетъ въ духовную академію, а мнѣ хочется въ медицинскую. Я въ медицинѣ-то смыслю кое-что.

— Ишь, каналья! Любитъ форму: здѣсь иподіакономъ былъ, архіерея одѣвалъ, а тамъ хочешь форму носить, чтобы порисоваться въ губернскомъ городѣ и передъ своимъ батюшкой. Знаемъ мы васъ, протоповскіе сынки.

— Давайте лучше вотъ что рѣшать: какъ ѣхать? Есть ли еще деньги-то?

— Кротковы богаты.

— Нашъ отецъ на дняхъ будетъ сюда, вѣроятно, дастъ,—сказалъ Алексѣй Кротковъ.

— Мой отецъ хотѣлъ прислать малую толику. Онъ не препятствуетъ тому, что я ѣду въ университетъ, даже радуется,—сказалъ Троицкій.

— А вотъ мой не то: «что, говоритъ, тебѣ за наука? Выпороть, говоритъ, тебя надо за вольнодумство. И если бросишь меня на старости лѣтъ, не заступишь мое мѣсто, прокляну тебя»,—сказалъ Бирюковъ.

— Что за дубина!

— Что ни говорите, а я удеру въ университетъ... Добро бы, я былъ одинъ сынъ у него, а то одинъ уже священникомъ, а другой въ философіи. На брата конечно нечего надѣяться. Скверно, денегъ нѣтъ.

— Я отцу ничего не говорилъ о поѣздкѣ, нынче написалъ ему такое письмо, что надѣюсь, старикъ расчувствуется. Впрочемъ я у него одно дѣтище мужского колѣна, а мѣсто у него такое, что называется—на веретено стрясти: село дрянь, народъ бѣдный, благочинный тѣснитъ...—сказалъ Спекторскій.

— Такъ какъ господа?

— Не знаемъ. Призанять бы у кого-нибудь на дорогу.

— У кого займешь?

— Мы вотъ что сдѣлаемъ, господа,—сказалъ Троицкій:—всѣ мы друзья и стало быть въ крайнихъ случаяхъ должны помогать другъ другу, какъ помогали въ семинаріи и какъ выручали другъ друга изъ бѣдъ. Если мой отецъ пришлетъ много, я половину раздѣлю на Спекторскаго и Бирюкова.

— У меня всего два рубля. Книги развѣ продать!—сказалъ Бирюковъ.

— А у меня всего-то 50 коп.,—сказалъ Спекторскій.

— Господа Кротковы, къ вамъ взываю о благотворительности,—сказалъ Троицкій Кротковымъ.

— Мы не знаемъ, какъ отцы.

— Если не дадите, мы вамъ не товарищи.

— Я попрошу батюшку объ этомъ,—сказалъ Алексѣй Кротковъ.

Разговоры продолжались до 4 часу утра. Попову очень надоѣли товарищи, но ему совѣстно было гнать ихъ.

— Поповъ, давай другую книгу.

Поповъ далъ.

— Ну, читай, Елтонскій.

— Господа, мнѣ надо проповѣдь писать,—сказалъ Егоръ Иванычъ, теряя всякое терпѣніе.

— Пойдемте къ намъ,—сказалъ Петръ Кротковъ.

— Лучше за рѣку поплывемъ. Тамъ хорошо.

— Маршъ!

— Смотри, Егоръ Иванычъ, умненько сочиняй. Мы послушаемъ твою проповѣдь въ церкви,—сказалъ Алексѣй Кротковъ.

Товарищи поцѣловали Егора Иваныча, и пошли къ рѣкѣ.

Когда ушли товарищи, Егоръ Иванычъ досталъ изъ сундучка четыре листа сѣрой бумаги, сдѣлалъ ихъ тетрадкой въ 4-ю долю листа, сшилъ, разрѣзалъ, перегнулъ на половинѣ, очинилъ перо, попробовалъ, поправилъ перо, опять попробовалъ, ладно—и сталъ думать. Цѣлый часъ Егоръ Иванычъ продумалъ.

«Задача трудная,—разсуждаетъ Егоръ Иванычъ. Дѣло въ томъ, что придется говорить въ губернскомъ городѣ, въ архіерейскую службу... Троицкій правъ. Другое дѣло, если бы сочинить просто для архіерея, а то для народа. Товарищи будутъ слушать, шептаться, смѣяться, какъ и я смѣялся надъ выговоромъ священниковъ... Судить станутъ... Ничего бы, если бы все чужіе, а то своихъ много, не всѣ разъѣхались... А пѣвчіе зубоскалы, вслухъ шикаютъ... И къ чему онъ задалъ мнѣ... Ну что я напишу?..» Опять Егоръ Иванычъ сталъ обдумывать сюжетъ проповѣди. Ничего не выдумывается.—«Дай умоюсь»,—сказалъ Егоръ Иванычъ вслухъ и умылся.

«Ужъ сочиню же я тебѣ! Сочиню». Зло взяло Егора Иваныча. Ругаться онъ сталъ. Попробовалъ перо, озаглавилъ текстомъ священнаго писанія свое сочиненіе, и началъ приступъ. Полчаса онъ писалъ съ плеча, потомъ вдругъ остановился.

«А дальше?.. Онъ велѣлъ текстовъ больше... На! наворочаю же я тебѣ».

Зазвонили къ заутрени.

Крѣпко и хлестко сталъ писать Егоръ Иванычъ. Мысль была, только тексты трудно подбирались. Зазвонили къ ранней обѣднѣ—Егоръ Иванычъ все пишетъ. Вошла хозяйка.

— Здравствуйте, Егоръ Иванычъ,—сказала она.

— Здравствуйте.

— Чайку попьете?

— Некогда.

Хозяйка, какъ хозяйка дома, сѣла около стола, возлѣ Егора Иваныча.

— Что вы это пишите? И ночь-ту, кажись, не спали?

— Проповѣдь пишу.

— Ахъ мои мнѣчиньки! Проповѣдь?

— Да.—Егоръ Иванычъ бросилъ перо, потому что теперь всѣ мысли его сочиненія исчезли.

— Гдѣ же вы ее сказывать будете?

— Въ каѳедральномъ соборѣ.

— Ой! ой!.. при самомъ архиреѣ?

— Да.

— Вотъ что значитъ ученіе-то!.. Ужъ я послушаю, непремѣнно послушаю. Только вы посклад-нѣе пишите да понятливѣе, погромче сказывайте... Вотъ у насъ говорятъ проповѣди-то, да все подъ свой носъ говорятъ... А вы какъ, въ ризѣ будете сказывать-то?

— Нѣтъ. Стихарь надѣну.

— Такъ, такъ.. А въ ризѣ-то лучше бы... А вы въ попы-то скоро постригетесь?

— Скоро. Только проповѣдь надо сказать.

— Дай Богъ, Егоръ Иванычъ, дай Богъ!... Чайку не хотите ли, Егоръ Иванычъ?

— Да нѣтъ чаю.

— Экіе вы какіе! Ну, что бы мнѣ сказать!.. Сейчасъ поставлю самоварчикъ, напою.

— Покорно благодарю.

— Полно, Егоръ Иванычъ... Вы у меня такой были постоялецъ, что мнѣ и не найти такихъ... Какъ красная дѣвушка жили все тихо, и кашлю что есть не слышно... Не то, что Павелъ Иванычъ, денегъ не платитъ, пріятелей водитъ, содомъ просто!—Немного помолчавъ, хозяйка, поправивъ на головѣ платокъ, сказала очень любезно Егору Иванычу:—а я вѣдь къ вамъ по дѣлу, Егоръ Иванычъ. Денегъ бы надо, больно надо...

— Вамъ сколько слѣдуетъ?

— Да за комнату 2 р., за 10 фунтовъ гречневой крупы—помните, велѣли купить? 5 фунтовъ говядины, молочницѣ за 16 бураковъ, всего три рубля восемь гривенъ безъ трехъ копѣекъ.

Егоръ Иванычъ далъ 5 рублей.

— Ахъ, я и забыла, ономедни у васъ гости были, стаканъ разбили, 20 к. стоитъ.

— Да вѣдь онъ отъ воды лопнулъ!

— Знаю, что самъ лопнулъ, только теперича ужъ если онъ у васъ былъ, значитъ вы за него и отвѣчаете.

— Такъ вы и 20 к. исключите изъ 5 р.

— Хотѣлось бы мнѣ еще попросить васъ... да совѣстно.

— Говорите.

— Ономедни стекло разбили въ этомъ окнѣ.

— Да вѣдь оно разбито было!

— Полноте, Егоръ Иванычъ... Вы коли живете здѣсь, значитъ за комнату и отвѣчайте... Ну, да Богъ съ вами... Вотъ еще надо бы за картинку вычесть... Больно ужъ ваши-то пріятели хериковъ много на лицѣ надѣлали... хорошему человѣку и посмотрѣть-то страмъ... Стулъ таперича сломали.

— Послушайте, Авдотья Кирилловна, вѣдь я въ томъ не виноватъ; не я же вѣдь это все сдѣлалъ.

— Знаю, что не вы,—вы такой умница! Дай вамъ царица небесная невѣсту хорошую.—Хозяйка встала.—Вы пожалуйте ко мнѣ въ комнатку; я васъ пирожками говяжьими поподчую.

— Покорно благодарю.

— Сдѣлайте милость.

Егоръ Иванычъ пошелъ за хозяйкой въ ея комнатку. Мужъ хозяйки сапоги починивалъ, а дочь, лѣтъ 14, принесла двѣ тарелки жареныхъ пирожковъ и чашку свѣжаго молока. Егоръ Иванычъ сталъ кушать.

— Вотъ, Егоръ Иванычъ, что значитъ ученье: ученье свѣтъ, а неученье тьма. Если бы я, теперича, былъ грамотный, я бы, теперича, кто былъ? поди и домъ у меня былъ бы каменный, и вашей братьи въ немъ жило бы много,—сказалъ хозяинъ.

— Ужъ Егоръ Иванычъ, одно слово, прозвитеръ!—сказала хозяйка, радуясь, что ея постоялецъ будетъ говорить проповѣдь и скоро будетъ священникъ.—Мы худыхъ людей не держимъ,—прибавила она.

— Егоръ Иванычъ, не напишете ли вы мнѣ письмо къ брату?

— Очень хорошо.

— Я вамъ сапожки заштопаю. Покажите.

Егоръ Иванычъ показалъ сапоги.

— У-у какіе! Снимите-ка, — сказалъ хозяинъ. Егоръ Иванычъ снялъ сапоги, и такъ какъ у него другихъ сапоговъ не было, то онъ и остался босикомъ, а хозяинъ принялся починивать. Наѣвшись пироговъ, Егоръ Иванычъ написалъ хозяину письмо, на что и употребилъ цѣлый часъ. Послѣ этого его приглашали обѣдать, но онъ отказался.

Хозяева всѣ и всегда любезны съ богословами. Они гордятся, что у нихъ живутъ умные люди, которые меньше буянятъ и ломаютъ вещи, нежели уѣздники и словесники. Имъ очень жалко разставаться съ ними, и они передъ отъѣздомъ особенно любезны, надѣясь на то, что квартирантъ ихъ, посвятившись въ священники или дьяконы, непремѣнно подаритъ имъ рубль или три рубля за ласку хозяйскую и ихнее хорошее расположеніе.

Послѣ этого проповѣдь плохо сочинялась, мысли положительно не лѣзли въ голову. Во 2-мъ часу пришли двое кончившихъ курсъ въ семинаріи, Ериловъ и Ганимедовъ.

— Поздравляемъ!—сказали они, входя.

— Вы ужъ знаете?

— Троицкій сказалъ. Молодецъ! Ну, а проповѣдь?

— Да пишу.

— Ну-ко, прочитай.

— Не кончилъ еще. Текстовъ много надо.

— Ну, ничего. Мы подсобимъ.

Егоръ Иванычъ сталъ читать, а пріятели поправ-

ляли его. Чтеніе, мараніе, приписываніе продолжалось до самаго вечера. Проповѣдь была кончена. Пришелъ еще богословъ. Опять началось чтеніе и поправки.

— Кажется, ладно?

— Еще бы!

— А какъ не понравится ректору?

— Чего еще ему надо! Постой, Егоръ Иванычъ, размалюемъ про начальство.

— Да господа, послушайте: вѣдь хвалить начальство слѣдуетъ въ семинаріи при выпускѣ, а не въ церкви.

— Да вѣдь онъ велѣлъ!

— Я думаю вотъ что: можетъ ректоръ самъ хочетъ сказать проповѣдь по этой тетрадкѣ.

— Пожалуй,—это бываетъ.

— А можетъ быть и то, что онъ покажетъ архіерею, тотъ прочитаетъ и скажетъ хорошо, но сказывать запретитъ.

Между тѣмъ хозяйка принесла Егору Иванычу чаю, сахару и булокъ. Началось чаепитіе и изліянія дружбы.

— Я слышалъ,—говорилъ Ериловъ:—что въ Столешинскѣ у отца Василія есть двѣ дочери: одной—Натальѣ—19-й годъ, сватались чиновники, да отецъ Василій не выдалъ. Не худо бы тебѣ попросить ректора, чтобы онъ написалъ письмо тамошнему благочинному.

— Возьмется ли онъ за это дѣло? Какъ-то неловко.

— Попробуй.

— Пожалуй наведи справки, нѣтъ ли тамъ невѣстъ другихъ и поѣзжай туда жениться, а оттуда сюда на посвященіе.

— Пожалуй.

На другой день къ 12-му часу проповѣдь была окончена. Егоръ Иванычъ шелъ съ трепетомъ въ ректору и молился въ душѣ: «Господи помоги!»

Ректоръ удивился, что Поповъ принесъ проповѣдь скоро.

— Самъ ли ты сочинилъ?

— Самъ.—Егору Иванычу обидно сдѣлалось.

— Хорошо, я прочитаю. Завтра приходи за отвѣтомъ въ это же время.

Отъ ректора Егоръ Иванычъ пошелъ въ консисторію къ столоначальнику.

— Ну, что-съ?—спросилъ Егора Иваныча столоначальникъ.

— Я къ вамъ за справкой.

— Да вѣдь вы уже назначены, съ васъ *магарычъ* надо.

— Какъ назначенъ?

— Да такъ. Сами вы просили ректора, а ректоръ снесъ вашу просьбу е. в—у, а тотъ и назначилъ.

— И бумага здѣсь?

— Ну, этого я вамъ не скажу—секретъ.

— Какой же тутъ секретъ.

— Ну ужъ, нельзя.

— Да вѣдь вы сами сказали, что я назначенъ!

— Ну, это еще *сорока на двое сказала*. Я могу отписать на справкѣ, что мѣсто ваше занято.

— А его-то в—во?

— Что вы, жаловаться хотите? Знаете, чѣмъ эти жалобы-то пахнутъ?

— Чѣмъ?

— Мнѣ, г. Поповъ, некогда съ вами калякать.

— Я, Якимъ Савичъ, пришелъ къ вамъ не потому, чтобы мѣсто просить, а объ невѣстахъ хочу справиться.

— Я вамъ сказалъ, что мнѣ некогда.

Егора Иваныча зло взяло. Онъ вышелъ въ корридоръ. За нимъ вышелъ писецъ.

— Что дадите?—присталъ онъ къ Егору Иванычу. Въ консисторіи если и сторожъ важное лицо, то писцы тамъ ужъ очень важныя лица для ищущихъ и хлопочущихъ. Это знаютъ всѣ. Даже сторожъ за полтинникъ можетъ вывѣдать отъ писцовъ, а писцы—помощники столоначальниковъ по дѣламъ поборовъ.

— За что?

— Экой вы чудакъ. Давайте три рубля, все сдѣлаемъ.

— Да денегъ нѣтъ.

Ихъ окружилъ синклитъ подрясниковыхъ и въ рясахъ. Всѣ смотрятъ какъ-то съ удивленіемъ, сожалѣніемъ; какое-то заискиваніе видится, плутовское намѣреніе...

— Въ чемъ дѣло?—спрашиваетъ храбрый господинъ въ рясѣ, держа голову на бокъ, разведя ноги на аршинъ одна отъ другой и утирая ситцевымъ платкомъ бороду, на которой присохла скорлупа отъ яйца.

— Право, не знаю,—отвѣтилъ Егоръ Иванычъ.

— За что вы просите-то?

— Это не ваше дѣло,—сказалъ писецъ.

Половина разошлась по своимъ мѣстамъ. Господинъ въ рясѣ и скорлупой на бородѣ рьяно вступился за Егора Иваныча.

— Вы объясните причину!

— Не ваше дѣло!

— А владыку знаешь?

— Сторожъ, выгони этаго пьянаго,—закричалъ писецъ и ушелъ въ канцелярію.

— Что онъ сказалъ? Что сказалъ? — спросили человѣкъ шесть. Обруганный заступникъ ворвался было въ канцелярію, но его вытолкали оттуда.

— Что, отецъ дьяконъ, съ носомъ!

— Въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не ходи.

— Еще говорите спасибо, что за шиворотъ не выгнали на улицу,—говорятъ, хохоча, остальные.

— Это все изъ-за васъ, г. семинаристъ,—обратился дьяконъ къ Егору Иванычу и сію же минуту отошелъ отъ него.

Два священника подошли къ Егору Иванычу.

— Въ чемъ дѣло?

Егоръ Иванычъ разсказалъ.

— Вамъ надо бы денегъ дать.

— Если бы были!

— Вы лучше къ нему на домъ сходите. Дайте рубль—и дѣло въ шляпѣ.

— Нѣтъ, всего лучше къ эконому.

— Эво! къ эконому. Вѣдь вамъ, разумѣется, не-

вѣсту не голую надо, а съ придачею: такъ лучше справиться у столоначальника.

— Я къ нему не пойду.

— Какъ знаете.— Разговоръ пошелъ объ другомъ: каковъ нынче ректоръ. Потомъ оба священника и приставшіе трое дьяконовъ пожелали послушать проповѣдь молодого проповѣдника.

Въ углу налѣво одинъ дьячокъ схватилъ за носъ пономаря; пономарь вскричалъ и въ свою очередь ударилъ дьячка подъ микитки, что вызвало всеобщій смѣхъ. Въ другомъ углу, направо, одинъ подрясниковый уснулъ на диванѣ.

— Братцы, смотрите!

— Ахъ, онъ песъ!

Всѣ хохочутъ.

— Надѣньте на него бумажный колпакъ.

Одинъ причетникъ подошелъ къ спящему и привязалъ къ волосамъ его свою косоплетку, а къ ней бросовый конвертъ.

— Нехорошо. Лучше разбудить, — совѣтуетъ половина глазѣющихъ на спящаго.

— Что онъ, пьянъ?

— Лунатикъ, должно быть...

— Въ безпечности пребываетъ...

Одинъ разудалый дьячокъ потащилъ со спящаго сапоги, тотъ проснулся. Его стали стыдить.

Въ одномъ мѣстѣ идутъ одолженія.

— Павелъ Гавриловичъ! одолжи рубликъ.

— У самого мало...

— Одолжи... Какъ приду домой—отдамъ.

— Олонись я тоже далъ такъ-то, да каналья Патрушевъ надулъ.

— Вотъ-тѣ Христосъ, отдамъ.

Павелъ Гавриловичъ даетъ рубликъ. Какой-то священникъ одолжилъ другому священнику 5 руб.

Егоръ Иванычъ ушелъ домой, ни съ кѣмъ не простившись. Троицкій сказалъ, что его все еще не уволили, и онъ ходилъ даже къ владыкѣ, но до владыки его не допустили.

Хозяйка предлагала Егору Иванычу свои услуги найти невѣсту въ городѣ, но Егоръ Иванычъ отложилъ вопросъ о женитьбѣ до завтрашняго дня.

На другой день ректоръ сказалъ ему:

— Очень плохо составлено твое слово... Удивляюсь, почему вы болванами выходите? Ну, какъ можно сказать такую проповѣдь?.. Никакого смысла нѣтъ.

— Я, ваше преподобіе, очень торопился.

— У васъ вѣчно отговорки... Ну, какой ты священникъ, когда и такихъ пустяковъ не въ состояніи составить?..

— Мнѣ, ваше в-преподобіе, время не было вовсе. Мѣшали Троицкій и прочіе исключающіеся.

— Этому я вѣрю. Поэтому я поправилъ. Возьми.—Ректоръ подалъ рукопись.—Сегодня у насъ пятница, завтра принеси мнѣ переписанную тетрадку, да смотри—на почтовой бумагѣ напиши.

— Очень хорошо-съ.

— Ступай...

Егоръ Иванычъ переступаетъ съ ноги на ногу.

— Ваше высокопреподобіе, осмѣлюсь васъ еще попросить насчетъ...

— Ну, говори. Денегъ что ли надо? Всѣ издержалъ что ли?..

— Нѣтъ, ваше высокопреподобіе...

— Такъ что же?

— Не можете ли вы помочь мнѣ насчетъ невѣсты.

— Это не мое дѣло. Мое дѣло выучить васъ; а что касается до мѣста, то я изъ любви христіанской помогъ тебѣ.

Егору Иванычу ничего больше не осталось дѣлать, какъ только подойти подъ ректорское благословеніе и уйти домой.

Архіерей принималъ съ 10 до 12 часовъ. Пріемная его — небольшая комната съ двумя круглыми столами, мягкимъ диваномъ и двумя стульями. Стѣны разрисованы. Духовныя лица сначала толкутся на лѣстницѣ. На лицѣ каждаго и въ голосѣ замѣтны испугъ и робость.

— Вы зачѣмъ? — спрашиваетъ одинъ робко другого.

— Перепрашиваюсь.

— Въ первый разъ?

— Нѣтъ, ужъ въ третій. А вы?

— Тоже перепрашиваюсь. Въ прошлый разъ хотѣлъ перевести, да на это мѣсто пятеро подали.

Въ пріемной всѣ стоятъ чинно. Говорятъ шопотомъ, на ушко, прикрывъ ротъ правой или лѣвой рукой. Братство тутъ славное. Всѣ ждутъ владыку, у всѣхъ мысли одни и тѣ же, всякій боится позабыть заученныя имъ слова, какія онъ долженъ сказать. Одинъ шепчетъ «ваше в—о, по крайней бѣдности позвольте перевестись». У одного дьячка такъ на ногтяхъ написано чернилами, что говорить. Бо́льшая половина читаютъ въ двадцатый разъ свои прошенія складываютъ ихъ, вытираютъ бумагу, что-то шепчутъ про себя и постоянно вытираютъ платками свои щеки и лбы...

Егоръ Иванычъ тутъ же стоитъ. Онъ надѣлъ сюртукъ Троицкаго, который былъ поновѣе, бѣлую манишку и бѣлый галстухъ. Въ рукѣ у него проповѣдь, на боку которой написано ректоромъ: «читалъ и одобряю, ректоръ архимандритъ» такой-то. Бо́льшая часть трущихся въ пріемной знаютъ, что Попову назначено мѣсто и что въ рукѣ у него проповѣдь. Всѣ завидуютъ.

Наконецъ вышелъ владыко. Всѣ подошли подъ благословеніе. Начались просьбы.

— Кто ты такой?

— Дьяконъ Крестовоздвиженскаго села, Іоаннъ Лепосимовъ.

— Объ чемъ просишь?

Тотъ робко объясняетъ.

— Подай прошеніе.

Очередь дошла до Егора Иваныча, на котораго владыко съ самаго начала взглядывалъ.

— Ты кто такой?

— Кончившій курсъ семинаріи, дьяконскій сынъ, Егоръ Поповъ.

— Объ мѣстѣ просить?

— Отецъ ректоръ ходатайствовалъ у васъ за меня.

— Такъ это ты Поповъ?

— Точно такъ, ваше в-во.

— Хорошо. Ступай туда! - и владыко указалъ Егору Иванычу на дверь въ залу.

Зала убрана какъ въ богатомъ барскомъ домѣ, съ тою только разницею, что въ ней на стѣнахъ висѣли большія картины духовнаго содержанія въ позолоченныхъ рамкахъ.

Черезъ четверть часа владыко пришелъ въ залъ вмѣстѣ со своимъ письмоводителемъ.

— Гдѣ прошеніе кончившаго курсъ семинаріи Попова?—спросилъ онъ у письмоводителя.

— У меня-съ, ваше в-во.

— Принеси сюда.

Письмоводитель ушелъ.

— На какое мѣсто ты желаешь.

— На священническое.

— Отецъ ректоръ просилъ меня. Я справлялся. Мѣсто тебѣ будетъ въ Столешинскѣ.

Егоръ Иванычъ низко-пренизко поклонился.

— Нынѣшній годъ я туда не поѣду. Поэтому послѣ свадьбы ты долженъ ѣхать сюда.

Егоръ Иванычъ опять поклонился и проговорилъ:

— В—во! я еще не нашелъ невѣсты.

— Сходи къ эконому, онъ знаетъ. Вчера я ему двѣ просьбы передалъ отъ духовныхъ вдовъ.

Егоръ Иванычъ поклонился.

— Написалъ ты проповѣдь?

— Написалъ в—во.

И Егоръ Ивановичъ подалъ рукопись. Владыко, увидавъ засвидѣтельствованіе ректора, не сталъ ее читать; письмоводитель принесъ прошеніе Егора Ивановича. Владыко написалъ на прошеніи: «назначается въ столешинскую знаменскую церковь во іереи. Постриженіе въ октябрѣ мѣсяцѣ»... а на проповѣди: «благословляю»...

— Позвольте завтра сказать, въ ваше служеніе...

— Можешь.

Егоръ Иванычъ подошелъ подъ благословеніе.

— Послѣ завтра я уѣзжаю; можешь и ты ѣхать за женой.

Егоръ Иванычъ опять подошелъ подъ благословеніе и ушелъ изъ залы.

Архіерейскій экономъ посовѣтовалъ Егору Иванычу ѣхать въ Столешинскъ и жениться лучше тамъ на дочери какого-нибудь священника или дьякона.

Вечеромъ Егоръ Иванычъ стоялъ въ крестовой церкви, а послѣ службы ея подходилъ подъ благословеніе владыки, который стоялъ въ алтарѣ.

Ночь провелъ очень худо. Не спится, а если уснетъ, то ему представляется народъ, и народъ этотъ хохочетъ, семинаристы ему неприличныя кривлянія дѣлаютъ руками.

Утромъ проповѣдь была прочитана Егоромъ Иванычемъ разъ семь про себя и два раза вслухъ. Троицкій боялся за своего товарища, чтобы онъ не струсилъ на каѳедрѣ, не сдѣлалъ бы худого выраженія на лицѣ. Въ церковь его проводили шесть семинаристовъ. Архіерей служилъ въ каѳедральномъ соборѣ. Егоръ Иванычъ сталъ въ алтарѣ. Передъ концомъ службы Егоръ Иванычъ надѣлъ стихарь и подошелъ подъ благословеніе владыки. Но вотъ Егору Иванычу нужно идти, а онъ дрожитъ, ноги подсѣкаются. «Иди!» говоритъ протодьяконъ. Егоръ Иванычъ пошелъ, запнулся за что-то... Вышелъ въ лѣвыя двери: пѣвчіе ему съ хоръ рожи строятъ, а костыльникъ его за стихарь дернулъ. Кое-какъ Егоръ Иванычъ дошелъ до налоя; робко вытащилъ изъ кармана рукопись, перекрестился и сказалъ чуть не шопотомъ: «во имя Отца» и сталъ... Потомъ кашлянулъ, посмотрѣлъ на рукопись — буквы вверхъ ногами стоятъ... Однако онъ началъ читать; но читалъ очень тихо, «подъ свой носъ», какъ выражалась его хозяйка; читалъ безсознательно, думая: «ахъ, скорѣе бы промахать»... Бо́льшая половина публики вышла изъ церкви, а остальная ничего не слышала, потому что Егоръ Иванычъ читалъ, запинаясь за каждое слово, пропуская гдѣ строчку, гдѣ двѣ; гдѣ не разберетъ—отъ себя выдумаетъ и читаетъ, какъ дьячокъ часы читаетъ... Промахалъ онъ такъ скоро, что пѣвчіе его ругнули, потому что нужно было пѣть запричастный, а половина ихъ разбѣжалась курить папиросы. Въ алтарѣ удивились, что такъ скоро Поповъ кончилъ проповѣдь, а ректоръ строго на него взглянулъ, когда онъ подошелъ подъ благословеніе владыки. Когда владыка сталъ уходить изъ церкви, то сказалъ ему, чтобы онъ зашелъ къ нему.

Бывшіе въ церкви семинаристы окружили Егора Иваныча.

— Ну, братъ, и проповѣдникъ! Знаешь, тебѣ гдѣ надо проповѣди сказывать?..

— Тебѣ бы дьякономъ быть!

— Неловко, господа, вѣдь въ первый разъ,— сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ты куда?

— Да архіерей звалъ.

— Ужъ не обѣдать ли?

Къ нимъ подошелъ посвященный въ этотъ день въ священники и отвелъ въ сторону Егора Иваныча.

— Пожалуйте ко мнѣ на поздравку. Я закусочку устроилъ сегодня.

— Покорно благодарю.

— Непремѣнно приходите. Отецъ протодьяконъ будетъ, каѳедральные дьяконы будутъ, пѣвчіе.

— Мнѣ надо къ владыкѣ сходить.

— Такъ послѣ.

Владыко сказалъ Егору Иванычу, чтобы онъ ѣхалъ жениться, что онъ получитъ изъ консисторіи свидѣтельство на вступленіе въ бракъ, и что въ консисторію же онъ передалъ его прошеніе для исполненія.

Егоръ Иванычъ пришелъ съ двумя пѣвчими-богословами къ новопосвященному во священники. Тамъ сидѣли протодьяконъ, два каѳедральные дьякона, одинъ пріѣзжій священникъ и еще одинъ городской дьяконъ. При протодьяконѣ всѣ вели себя скромно.

— А! вотъ и молодой проповѣдникъ! — сказалъ протодьяконъ и пожалъ руку Егору Иванычу.— Однако вы дурно сказали проповѣдь,— прибавилъ протодьяконъ.

— Даже очень скоро,—прибавилъ пѣвчій дьяконъ.

— Въ первый разъ, отецъ протодьяконъ,— оправдывался Егоръ Иванычъ.

— Ну-ка, выпей водочки, поди пересохло въ горлѣ-то,—сказалъ протодьяконъ и налилъ Егору Иванычу рюмку. Егоръ Иванычъ долженъ былъ выпить.

— А скоро будешь посвящаться? — спросилъ протодьяконъ уже по-пріятельски.

— Какъ женюсь.

— А!.. А невѣсту нашелъ?

— Въ томъ-то и горе, что нѣтъ.

— Я тебѣ вотъ что скажу, Егоръ Иванычъ. Въ Столешинскѣ я хорошо знакомъ съ благочиннымъ, знаю тамъ невѣстъ и напишу ему письмо. Письмо это ты самъ свезешь.

— Да вѣдь вы завтра ѣдете?

— Тьфу ты! Совсѣмъ забылъ.

Протодьяконъ плюнулъ.

— Ну, такъ я по почтѣ пошлю.

Черезъ два часа протодьяконъ ушелъ съ каѳедральными и городскими пѣвчими, дьяконами, отзываясь тѣмъ, что завтра въ 6 часовъ имъ ѣхать надо... По уходѣ ихъ начались пѣсни и дѣло дошло до буйства... Егоръ Иванычъ убѣжалъ, но пришелъ домой «выпивши» до того, что разругался съ Троицкимъ и чуть не прибилъ его.

— Экъ те разобрало! Вотъ славный выйдетъ попъ!—замѣтилъ Троицкій.

— Знать тебя не знаю. Поищи-ка теперь службы, а я нашелъ, да еще какъ!..

Съ этимъ словомъ Егоръ Иванычъ повалился на кровать и тотчасъ же уснулъ.

Черезъ недѣлю Егоръ Иванычъ, получивши свидѣтельство на вступленіе въ бракъ съ дѣвицею духовнаго званія и справку, что онъ назначенъ священникомъ въ такое-то мѣсто, распростился съ пріятелями и покатилъ на обозахъ съ двумя бѣдными семинаристами къ своему отцу.

II.

Егоръ Иванычъ Поповъ поѣхалъ къ своему отцу въ село Ивановское, Петровскаго уѣзда. Такъ какъ это село находится отъ губернскаго города въ двухъ стахъ верстахъ, то онъ ѣхалъ на обозахъ цѣлую недѣлю; ѣхать на обозахъ не то, что на почтовыхъ, на перекладныхъ и съ попутчиками. Всякому извѣстно, что обозами называется кладь, и на этой-то клади сидитъ, точно на какой-то горкѣ, дремлющій ямщикъ, или хозяинъ лошади, или просто работникъ-извозчикъ. Любитель путешествій, богатый человѣкъ, никакъ не поѣдетъ на обозахъ, онъ не найдетъ никакого удобства на обозѣ. Мужикъ-крестьянинъ не стыдится сѣсть какъ-нибудь и гдѣ-нибудь—лишь бы сѣсть; не боится дождя и грязи, не боится стужи и вьюги, жару и духоты, потому что ему разбирать вкусы не къ чему: во всякую пору и непогоду онъ пойдетъ и поѣдетъ для хлѣба, потому что объ немъ никто не позаботится, а всякій называетъ его неучемъ, да еще требуетъ кое-какой дани... Семинаристы не гнушаются крестьянъ-извозчиковъ. Извозчиковъ они любятъ потому, что тѣ берутъ съ нихъ дешево, да притомъ извозчики народъ славный, хотя и плуты подъ часъ, но кто же не плутъ? Семинаристу хочется домой къ роднымъ, домой въ родное село, нужно ѣхать куда-нибудь,—хоть невѣсту искать, а денегъ нѣту, пѣшкомъ идти далеко; поневолѣ поѣдетъ на обозѣ. Крестьяне знаютъ, что семинаристы народъ хорошій, мужика не обидятъ, ничего не украдутъ, а попросятъ они семинаристовъ покараулить обозъ и лошадку, когда сами отправятся куда-нибудь по нуждѣ или въ кабакъ, семинаристы не откажутся, да и какъ-то веселѣе съ «ребятками», «калякаютъ они больно толково, да весело такъ»... Кромѣ того крестьянинъ еще и уважаетъ ребятокъ по любви ихъ къ вѣрѣ и почету къ духовенству. «Не всякъ можетъ попомъ быть. Штука-та важная»...—разсуждаетъ каждый крестьянинъ.

Сидитъ Егоръ Иванычъ на обозѣ, свѣсивши ноги. Очень неудобно сидѣть, а прилечь негдѣ. Ноги болтаются; самого «взбулындываетъ» полегонечку, а въ иномъ мѣстѣ такъ тряхнетъ, что невольно скажешь: да будь оно проклято! Съ непривычки ѣхать неловко, а крестьянину ничего, уже онъ привыкъ: спитъ себѣ полдороги на обозѣ съ витнемъ въ рукѣ, только шапка нависла на носъ. Оно и лучше—солнышко не жжетъ. Скука страшная, потому что лошадь везетъ чуть-чуть; на мѣстность любоваться не стоитъ, такъ какъ Егоръ Иванычъ проѣзжаетъ по этой дорогѣ не въ первый разъ, всѣ мѣста знакомыя, да и видовъ-то хорошихъ нѣтъ: гдѣ лѣсъ, гдѣ пальникъ, гдѣ покосъ, гдѣ пашни; деревеньки незавидныя, люди бѣдные, проѣзжающихъ мало. Извозчикъ оказался несловоохотливый... Егоръ Иванычъ всячески старался сблизиться съ крестьяниномъ по-нынѣшнему, какъ онъ въ книгахъ вычиталъ. Прежде онъ какъ-то весело ѣхалъ, а теперь у него въ головѣ засѣла мысль, что «я кончилъ курсъ. Я много знаю, а крестьянинъ ничего не знаетъ»... Однако онъ началъ говорить съ крестьяниномъ по-нынѣшнему.

— Слышишь, дядя!

— Ну?

— Какъ те зовутъ?

— Зовутъ меня Митрій.

— А величаютъ?

— Величаютъ Егорычъ.

— Значитъ ты Митрій Егорычъ?

— Знамо такъ.

— А хлѣбъ-то у васъ каковъ нонѣ?

— Нешто.

— А какъ?

— Да такъ.

Молчаніе.

— Што Богъ дастъ, то и ладно...—началъ крестьянинъ.—Вотъ нынѣ што есь съ обозами мало ходимъ... Времена такія тяжелыя... А хлѣба въ прошломъ году не было, потому, значитъ, земля у насъ не такая, какъ въ Прогаринѣ, или хоша у сосѣдей. Тѣ, значитъ, зажиточные, подарили съ началу

кого должно, и надѣлили ихъ: значитъ, старыя мѣста дали.

— А ты какой: государственный или крѣпостной?

— Кабы государственный—не то бы было. Никитинской... Баринъ Иванъ Лексѣичъ.

— Худой человѣкъ?

— А кто ево знать... Не наше крестьянское дѣло судить... На то Божья воля да милость царская...

Крестьянинъ замолчалъ. Объ чемъ еще говорить Егору Иванычу съ крестьяниномъ? Положимъ, предметовъ много, но крестьянинъ не пойметъ всѣхъ этихъ предметовъ. О хлѣбопашествѣ говорить не стоитъ, потому что крестьянину досадно даже говорить о неурожаѣ: неурожай и разныя неудачи поѣдомъ ѣдятъ его. А неудачи есть у каждаго человѣка, не только-что у крестьянина; у крестьянина больше всѣхъ неудачъ, и эти неудачи никѣмъ изъ прочихъ сословій не замѣчаются, и если замѣчаются, то такъ себѣ; и если вырвется у кого-нибудь сочувствіе, такъ это рѣдкость, большею частію для хвастовства: что-де и мы любимъ крестьянъ, и мы имъ благодѣяніе хотимъ сдѣлать. Егору Иванычу хотѣлось кое-что объяснить крестьянину, но онъ не могъ выбрать такого предмета, который бы крестьянинъ понялъ. Онъ знаетъ, что крестьяне не очень долюбливаютъ тѣхъ господъ, которые, встрѣтясь съ ними въ первый разъ, начинаютъ говорить имъ о такихъ предметахъ, которыхъ или они не понимаютъ, или предметы эти не интересуютъ ихъ. Крестьяне даже боятся тѣхъ людей не ихъ сословія, одѣтыхъ прилично барскому сословію, которые съ ними говорятъ ласково, выспрашиваютъ все больше о господахъ, говорятъ такія слова противъ старшихъ, которыхъ крестьяне привыкли уважать и бояться съ дѣтства... Крестьянину,—отъ рожденія привыкшему работать на потребу другихъ всю жизнь, забитому, у котораго развитіе остановилось на пріобрѣтеніи денегъ различными способами,—странны кажутся такія слова. Егоръ Иванычъ зналъ все это; самъ слыхалъ хвастовство товарищей объ отрицаніи, и ему это казалось глупо.— Такой наукой, думалъ онъ, нельзя выучить народъ добру. Да и Троицкій, человѣкъ отрицающій, говоритъ, что народъ насчетъ этого не нужно трогать. Самъ современемъ пойметъ. Егоръ Иванычъ знаетъ и то, что крестьянину ничего не нужно отъ человѣка, прилично одѣтаго, кромѣ денегъ за работу или возку и на водку. Крестьянинъ знаетъ, что ему не нужно быть бариномъ: онъ захохочетъ, если представитъ себя бариномъ въ сюртукѣ и въ свѣтлыхъ сапогахъ и свою жену въ шляпкѣ. Будетъ много денегъ—тогда можно торговлей заняться, домъ хорошій состроить, а куда ужъ въ баре лѣзть. «Мы люди такіе, тѣ люди иные». Отъ этого-то у него является недовѣріе къ барину:—«говоритъ-то онъ хитро да ласково, а Богъ его знаетъ, что у него на умѣ-то? мягко стелетъ, да жестко спать будетъ»... Положимъ, баринъ и предложеніе хорошее сдѣлаетъ, такъ и тутъ крестьянинъ не иначе согласится, какъ прежде посовѣтовавшись съ товарищами.

Товарищи Егора Иваныча — Павелъ Игнатьичъ Корольковъ, философъ, и Максимъ Игнатьичъ Корольковъ же, словесникъ, ѣхали на другомъ обозѣ. Они ѣхали весело и смѣшили ямщика. Они разсказывали ямщику разные городскіе-губернскіе анекдоты и сплетни, въ родѣ слѣдующаго:

— Ты, дядя, знаешь бульваръ?

— А!?—крестьянинъ захохоталъ. Этимъ словомъ онъ выразилъ то, что выражается словами: «эво, еще бы, ужъ будто не знаемъ-ста».

— Такъ вотъ видишь ли, какая тамъ штука забористая вышла. Гуляло народу много; знати всякой и не перечтешь... А дамы, слышь, нарядныя такія—прелесть. Въ деревняхъ такихъ не найдешь... Ну и ладно. Вотъ сидятъ это много на скамейкахъ противъ музыкантовъ, которые потѣшаютъ ихъ на разныя манеры... Сидятъ онѣ смирно, всѣ смотрятъ на музыкантовъ,—въ чувство входятъ; а мимо ихъ на площадкѣ разные франты ходятъ. Значитъ ищутъ дѣвицъ на тово-оно... Вдругъ, что бы ты думалъ, вышло? Одна передняя скамейка и грохнулась,— ножки съ одного конца фальшивыя были,—ну, дамы и кувыркъ—кто верхъ ногами, кто просто на посрамленіе, а молодые-то люди франты любуются...

Крестьянинъ хохочетъ во все горло, хохочетъ съ четверть часа.

— Вотъ такъ любо! А я бы знаешь какъ?..— Крестьянинъ хохочетъ.

— А какъ?

Крестьянинъ хохочетъ и говоритъ свое мнѣніе. Потомъ разсказываетъ о казусахъ, бывшихъ въ селѣ съ какой-нибудь дѣвкой.

— А вотъ что, дядя, какъ по твоему: которыя изъ дѣвокъ лучше: городскія, или сельскія?

— Городскія, братъ, штуки! Напялено на нее— страсть; ходитъ какъ индѣйскій пѣтухъ: только поглядишь въ щелочку на нее, страхъ возьметъ... Да что—не по намъ.

— Въ селахъ-то, братъ, лучше, знать?

— Эво! Возьмешь кою дѣвку и не нарядную— славно! Здоровая такая...—Крестьянинъ хохочетъ.

— И женишься,—славная жена будетъ.

— Ужъ на этотъ счетъ не безпокойся. Все приладитъ; заботу объ ребятахъ знаетъ, чужому не поддастся. Вотъ моя жена такъ ревмя реветъ, коли мнѣ что не посчастливится, а пьяный напьешься,— драться лѣзетъ... Славная баба, бой баба!.. А здорова, собака! На тысячу рублей не промѣняю свою бабу. Золото баба!..

— А ты по любви женился?

— Понравилась: красивая была дѣвка, да и вмѣстѣ малолѣтками игрывали... Ну, достатку-то у нихъ нѣтъ, да все однако—жениться надо. Ну, и женился.

— Не перечила?

— Да что ей перечить? Меня знаетъ: «я, говоритъ, за тебя пойду за мужъ, коли ты меня обижать не будешь, коли, говоритъ, будешь мужикъ хорошій».

— Такъ. А городскія не нравятся?

— Да что и толковать! Ну ихъ!.. Хорошо яблоко спереди, да внутри-то горько.

— Ты бы въ Питерѣ пожилъ, не то бы сказалъ.

— Ну, не знаемъ поди-кось!.. Вонъ лонись оттоль Кирьякъ Савичъ пріѣзжалъ, — извозчикомъ тамъ былъ. «Такая, говоритъ, тамъ жизнь извозчикамъ— бѣда! Плутомъ, говоритъ, надо быть... Съ виду-то, говоритъ, куды-те расфранченная, ужасти!.. А скажешь такое любезное слово—и готово!»... Только Кирьяшко-то, знать, прихвастываетъ на этотъ счетъ. Подиткось, такъ и повѣрятъ! А у самого, у пса, жена здѣсь съ дѣтьми живетъ.

— Ну, тамъ-то это такъ.

— А ты бывалъ тамъ?

— Не былъ, а въ книгахъ пишутъ.

— Ну и врутъ, коли пишутъ... Эдакъ жить, по нашему выходитъ, грѣхъ... Стыдъ на весь міръ... А все бы самому лучше поглядѣть.

Егоръ Иванычъ злится, слушая эти разговоры. Онъ думалъ: «что это они толкуютъ дичь? Ну, для чего? Будто о другомъ не о чемъ разсуждать»... Но, взглянувъ на спину своего дремлющаго ямщика, онъ думалъ; «какъ только буду я священникомъ, я прямо начну говорить проповѣди объ этомъ предметѣ. Я всѣ эти гадости объясню имъ... Эхъ, какая пошлость! До чего люди доходятъ! Подобные примѣры я видѣлъ и въ губернскомъ; надо вразумить прихожанъ, изобличить ихъ въ поступкахъ, происходящихъ отъ безнравственности»... При этомъ онъ представилъ себѣ, что онъ ѣдетъ жениться, но на комъ? Сердце забилось, словно боль какая-то чувствуется. Потянулся онъ, зѣвнулъ, сталъ тянуть поочередно пальцы: пальцы захрустѣли... «Какая-то моя невѣста? Господи, дай мнѣ хорошую жену, не развратницу. Слыхалъ я, что какой-то священникъ отъ развратницы жены спился и подъ судъ попалъ, теперь по кабакамъ трется въ крестьянскомъ званіи. Нѣтъ! дай мнѣ хорошую жену»... И при мысли объ женѣ, объ дѣтяхъ опять чувствуется боль и радостное щекотанье въ сердцѣ.

Почти во всю дорогу Егоръ Иванычъ думалъ объ своей будущей невѣстѣ и трепеталъ. Невѣсты онъ не видалъ. Кто ее знаетъ, какая она. Другое дѣло, если бы Степанида Ѳедоровна... При этомъ Егору Иванычу чего-то жалко стало, зло его взяло... «Да ну ее къ чертямъ!» подумалъ онъ. И опять ему представляется невѣста въ образѣ красивенькой дѣвицы, дѣвицы набожной, отецъ которой богатый человѣкъ, даетъ ему свой домъ или купитъ въ городѣ домъ въ четыре комнаты. Но вѣдь невѣсты еще нѣтъ. Нужно найти ее... У отца Василья, сказываютъ, есть дочь Наталья 19 лѣтъ... Какъ, поди, красива! А впрочемъ, кто ее знаетъ, какая она. Можетъ, она уже помолвлена съ кѣмъ-нибудь... Все бы хорошо имѣть тестя въ той же церкви: доходовъ бы можно много нажить. Но какъ подступить къ нему? Какъ жениться въ такой короткій срокъ на незнакомой дѣвушкѣ? Надо съ отцомъ посовѣтоваться»...

Съ товарищами-семинаристами Корольковыми Егоръ Иванычъ обращался, какъ кончившій курсъ съ учениками. По его понятію, это были мальчишки, только что начинающіе смыслить, теперь еще глупые ребята. Корольковы были изъ Столешинскаго уѣзда и кое-что знали о духовенствѣ тамошнемъ.

— Вы въ Столешинскъ?

— Да.

— Ну, невѣстъ тамъ много. Мы слышали: вы у отца Василія Будрина хотите сватать.

— Еще не знаю.

— Полноте притворяться! Во всемъ губернскомъ знаютъ.

— А у Василья Григорьича славная дочка! Я бы не прочь жениться на ней. Только приданаго-то мало, потому что прихожанъ у этой церкви мало, и прихожане народъ все бѣдный, все рабочіе.

— За то священникъ.

Егору Иванычу не нравится это, болѣе потому, что мальчишки толкуютъ не въ его пользу.

— Вы бы, г. Поповъ, у чиновниковъ или у купцовъ посватались!

— Знаю и безъ васъ.

— Ну, это еще не резонъ.

— Почему?

— Потому что отецъ Василій и не отдастъ за васъ.

— По-че-му?

— Потому что вы очень неказисты съ виду.

«Подлецы!»—ворчитъ про себя Егоръ Иванычъ и думаетъ: «во что бы то ни стало, а женюсь таки я на Будриной дочери».

— А можетъ она и съ брюхомъ!—подзадориваютъ семинаристы.

— Господа! вамъ какое дѣло до меня и моей невѣсты?—говоритъ Егоръ Иванычъ, думая, что семинаристы испугаются его, какъ кончившаго курсъ и облагодѣтельствованнаго начальствомъ.

— То дѣло, что она не пойдетъ за васъ замужъ, потому что у васъ шишки на носу...

— Я... я ректору на васъ пожалуюсь!

— Вотъ и спасибо... Да ну его къ чорту!

— Ей-Богу, пожалуюсь!

— Вотъ что, г. Поповъ: вы будете служить въ уѣздномъ городѣ и васъ будутъ тѣснить благочинные, если у васъ не будетъ денегъ. А мы будемъ учиться и въ попы не поступимъ. Насъ хоть сейчасъ гони, намъ все равно. Въ другое мѣсто пойдемъ учиться.

Егоръ Иванычъ на это ничего не отвѣчалъ и всю дорогу отмалчивался. Пойдутъ Корольковы въ кабакъ съ крестьяниномъ—Егоръ Иванычъ думаетъ: «погибшіе люди». Заговорятъ съ крестьянами такъ, что крестьяне рады ихъ слушать, хохочутъ и соглашаются и еще просятъ разсказать—Егоръ Иванычъ думаетъ: «ужъ я доберусь до нихъ, только бы жениться!»... Корольковы смѣялись надъ Поповымъ, крестьяне отмалчивались отъ него, говоря: «ужъ больно онъ важничаетъ». Корольковы ѣхали весело, такъ что крестьяне говорили имъ на прощаньи: «жалко, что вы, ребятки, маловато ѣхали: и не замѣтили, какъ время-то весело прошло». Егоръ Иванычъ скучалъ. Крестьяне говорили про него: «одѣтъ-то онъ неказисто, а больно хитеръ. И не хитеръ, а смыслу такого нѣтъ, чтобы ублаготворить нашего брата»...

Съ Корольковыми Егоръ Иванычъ разстался въ деревнѣ Ершовкѣ, которая отъ Ивановскаго села находится въ десяти верстахъ. А такъ какъ ершовцы прихожане ивановской церкви, то Егора Иваныча довезъ до села ершовскій крестьянинъ Макаръ даромъ.

Егора Иваныча по въѣздѣ въ село одно только радовало: увидѣться съ отцомъ и съ нимъ же ѣхать въ Столешинскъ. Иныя радости бывали прежде, когда онъ пріѣзжалъ домой еще уѣздникомъ. Теперь онъ возмужалъ, окрѣпъ, сдѣлался чѣмъ-то выше крестьянъ и даже своего отца. Ему не время было вглядываться въ сельскую обстановку, да и не для чего, потому что село какъ въ прошломъ году стояло, такъ и теперь оно въ такомъ же видѣ. У церкви въ прошломъ году еще на одномъ окнѣ вверху стекло было разбито, такъ и теперь это стекло разбитымъ остается. Всѣ дома такіе же черные съ высокими крышами, да кое-гдѣ съ палисадниками передъ окнами; этотъ домъ Марка, тотъ Пантелея, этотъ старосты, а тотъ станового. Люди тоже не измѣнились. Ходятъ себѣ въ рубахахъ да въ штанахъ, ребятишки играютъ, скачутъ; всѣ говорятъ чисто по деревенски; скотъ по старому свободно разгуливаетъ по улицамъ... Все одно и то же, только вонъ налѣво двѣ крестьянскія избы сгорѣли.

Егоръ Иванычъ думалъ, что его встрѣтятъ какъ дорогого гостя. Въ воротахъ его встрѣтила корова-буренка. Во дворѣ чисто: но на крылечкѣ настоящая деревенщина. Егоръ Иванычъ вошелъ въ кухню, никого нѣтъ. Одинъ только котъ забился на шестокъ и оплетаетъ поросенка, оставленнаго безъ призора въ латкѣ. Егоръ Иванычъ стащилъ кота за ухо. Въ комнатѣ тоже никого нѣтъ, въ отцовскомъ чуланѣ тоже.

— Вотъ она деревня-то! Оставь-ко такъ домъ у насъ въ губернскомъ безъ заперти!.. Впрочемъ и взять-то у нихъ нечего, — проговорилъ про себя Егоръ Иванычъ.

Зная, что онъ здѣсь хозяинъ, такъ какъ домъ отцовскій, Егоръ Иванычъ втащилъ въ отцовскую комнату сундучокъ, въ которомъ заключались книги и одежда, тулупъ, войлокъ, одѣяло и подушку. Умывшись и закусивши поросенкомъ, онъ улегся спать. Но черезъ четверть часа услыхалъ голосъ сестры Анны.

— Чтой-то, дѣвка, за напасть! Гли, поросенокъ-то... Кто же это слопалъ?

— Да братъ, поди,—отозвался женскій голосъ.

— Ахъ, мои матушки, и не догадаюсь! Гдѣ же онъ, голубчикъ?—И Анна вбѣжала въ отцовскую комнату. Братъ и сестра поцѣловались. Сестра долго любовалась на брата и выспрашивала разныя губернскія новости.

— А гдѣ же отецъ?

— По грибы, Егорушка, ушелъ. Чай поди сичасъ придетъ. А ты поѣшь, голубчикъ.

— Ты, сестра, извини, что я слопалъ поросенка.

— Ой! ой! побойся ты Бога, братъ.

— Отчего ты мнѣ дозволяешь ѣсть, а другихъ ругаешь, готова глаза выцарапать?

— Ну-ну, ученъ больно!.. Ты мнѣ братъ, а тѣ чужіе, каждый воленъ свое съѣсть, а на чужой каравай ротъ не разѣвай. Поѣшь, право.

— Молочка развѣ.

— Изволь. Я тѣ малинки еще принесу... Какой нынче урожай этой малины, бѣда! Вонъ Пашка у меня вчера обтрескался малины-то, все брюхо вспучило; къ знахаркѣ ходила... Теперь прошло, съ отцомъ побѣжалъ въ лѣсъ.

Сестра принесла кринку молока и буракъ малины. Егоръ Иванычъ налилъ молока въ чашку, накрошилъ булки, наклалъ малины и сталъ ѣсть.

— Гдѣ же Петръ Матвѣичъ?

— А будь онъ проклятъ! и не говори...

— Что?

— Да просто житья отъ фармазона нѣтъ.

— Что же онъ, по старому?

— Охъ, Егорушко, и не говори! Насобирали мы нонѣ въ праздникъ мучки пудовъ съ двадцать, продали десять пудовъ, а остальную въ сусѣкъ положили, да денегъ 5 рублей насобирали; онъ, будь онъ проклятъ, все пропилъ, да дѣвкѣ Марьѣ ссовалъ... Ахъ, убей ты его, царица небесная!

— Зачѣмъ желать зла, сестра! Богъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлать.

— Такъ оно... И скерти-то на него анаѳемскаго нѣтъ никакой... Хоть бы съ вина сгорѣлъ, окаянная сила!..

— Опять таки я тебѣ скажу, сестра, смерти желать никому не слѣдуетъ, потому что такъ Господь велитъ, да и твой разсудокъ такъ говоритъ, что безъ мужа тебѣ плохо будетъ. Вѣдь у тебя трое дѣтей?

— Ой, и не говори!.. Ужъ такой злосчастной вѣрно на роду Богъ написалъ быть.

— Жалко, сестричка, мнѣ тебя...

— Ни одного дня такого нѣтъ... Совсѣмъ каторжная жизнь...—Сестра заплакала.

— Не тужи, сестра. Богъ поможетъ. Надѣйся на Него: все будетъ легче; стерпится—слюбится, говоритъ пословица.

— Такъ оно. Да все тяжело; на Бога надѣйся, а самъ не плошай. Вонъ попрекаетъ меня новымъ дьякономъ: «ты, говоритъ, съ нимъ дѣла имѣешь»... А у тово дьякона, голубчика, жена злющая-преалющая, такъ и бьетъ ево...

— Можетъ быть ты съ нимъ дружбу ведешь?

— Эхъ, Егорушка, съ кѣмъ же мнѣ и вести дружбу, какъ не съ хорошимъ человѣкомъ? Что я стану съ своимъ-то мужемъ дѣлать, коли онъ жалости никакой ко мнѣ не имѣетъ!

— Какова же твоя дружба съ дьякономъ? т. е., что ты съ нимъ дѣлаешь?

— И не говори! Славный человѣкъ!.. Дай Богъ ему добраго здоровья,—сестра перекрестилась.

— Поди, цѣлуешься?

Сестра захохотала и убѣжала въ кухню, вѣроятно отъ стыда, или отъ чего-нибудь другого.

Къ Егору Иванычу пришелъ Саша, мальчикъ 5 лѣтъ; бойкій мальчикъ.

— А, Саша! здравствуй!

Саша, какъ маленькій мальчикъ — ребенокъ, видавшій дядю черезъ два года и черезъ годъ, счи-

талъ дядю за чужого; а извѣстно, что дѣти не скоро льнутъ къ чужимъ, не смотря даже на особенныя ласки и выраженіе лица. Егоръ Иванычъ не очень долюбливалъ дѣтей, и потому, сказавъ нѣсколько словъ мальчику, сталъ смотрѣть въ окно. Пришла сестра съ двухъ-годовой дѣвочкой.

— А вотъ и Степка! поганая дѣвчонка!..—представила сестра брату свою дочь.

— Какая ты грубая, сестра! Развѣ можно такъ говорить при дѣтяхъ.

— Бить ихъ, гадинъ, надо!

— Сестра! Неужели у тебя нѣтъ жалости къ своимъ дѣтямъ?

— И не говори, братчикъ! Ты не знаешь, сколько терпѣла черезъ нихъ, пострѣлятъ.

— Зачѣмъ же ты замужъ вышла?

— Весь вѣкъ что ли въ дѣвкахъ сидѣть?..— Сестра обидѣлась.

— Лучше было бы. Ты по своей красотѣ нашла бы хорошаго жениха.

— Именно нашла бы.

Егору Иванычу сестра показалась слишкомъ невѣжливой женщиной и развратницей. Онъ никакъ не предполагалъ, чтобы сестра его, богомольная, смиренная дѣвушка до замужества и хорошая жена назадъ тому два года, дошла до того, что имѣетъ дружбу съ дьякономъ и пренебрегаетъ своими дѣтьми. Онъ догадался, что вся причина этого зла происходитъ отъ мужа ея.

— А твой мужъ, каковъ съ отцомъ?

— И не говори! Третьево-дни обозвалъ его всячески. Прибить хотѣлъ.

Это разозлило Егора Иваныча, и онъ рѣшился, во что бы ни стало, урезонить его, обратить на хорошую жизнь.

— Паша учится?

— Ой, и не говори! Просто такая сорва, ножовое вострее, да и только! Ты знаешь отца-то, нюня такая—просто бѣда.. Ничѣмъ не хочетъ заняться.

— Ты объ отцѣ не говори такъ.

— Сядетъ на улицѣ и сидитъ весь день съ мужиками. А это ужъ въ загоди, когда съ Пашкой займется. Да и какое занятье-то? Посадитъ Пашку противъ себя и заставитъ читать, а тотъ, шельмецъ, читаетъ себѣ подъ носъ; настоящаго нѣтъ, отецъ-то и прикурнетъ. А какъ задремалъ отецъ, онъ и бѣжать, да все съ ребятами въ бабки да въ мячикъ играетъ. Говорю я ему, чтобъ онъ его, собаку, къ столу привязалъ, да плетку держалъ въ рукѣ, такъ на улицу идетъ, тамъ, говоритъ, другіе робяты вмѣстѣ съ Пашкой будутъ понимать ученье... Неха такая, что просто бѣда!.. Вотъ что, братецъ, поучи ты Пашку-то; я ужъ такую тебѣ плетку сдѣлаю!.. Изъ арапника старова сдѣлаю...

— Учить нужно лаской.

— Ой, и не говори! Самого-то какъ учили!

Въ это время Егоръ Иванычъ увидалъ на улицѣ отца. Онъ шелъ съ Павломъ безъ шапки. Далеко видно было заштатнаго дьякона по его освѣтившейся солнцемъ лысинѣ. Павелъ скакалъ кругомъ дѣдушки, держа въ рукахъ наберуху, изъ которой выпадывали грибы. Дѣдушка унимаетъ внучка, внучокъ хуже шалитъ.

— Погоди же ты, шельма! Задамъ я тебѣ поронь!—ворчитъ старикъ и хочетъ поймать внучка. Внучокъ языкъ ему выставляетъ.

— Плутъ-парень! зачѣмъ ты грузди-то поскидалъ? Я еще тебѣ за шапку задамъ, еще погоди!

— Не боюсь, не боюсь!—кричитъ внучокъ и скачетъ.

Егоръ Иванычъ вышелъ на улицу встрѣчать отца.

— Дѣдушка—дядя!—сказалъ Павелъ и подбѣжалъ къ Егору Иванычу. Егоръ Иванычъ подалъ ему руку и подошелъ къ отцу.

— А! Егорушко! Ахъ ты, голубчикъ! Здравствуй, Егорушко, здравствуй! здоровъ ли, дитятко?—сказалъ ласково и съ радостью Иванъ Иванычъ и облобызалъ Егора Иваныча.

— Здоровы ли вы, тятенька?

— Плоховато, Егорушко, плоховато... Вотъ по грузди ходилъ, ноженьки устали, просто бѣда! Разломило... Спина ноетъ, знать-то дождикъ будетъ... Ну, какъ ты, кончилъ терминъ?

— Кончилъ.

— Ну, и слава тѣ, Господи! Пойдемъ въ избенку-то.

Вошли въ избу.

— Ну-ко ты, курва! Што у тебя все разбросано?.. Братъ пріѣхалъ, а у ней вишь ты што...Неряха!—ворчитъ старикъ на свою дочь.

— Ужъ опять пришелъ ворчать-то,—говоритъ дочь.

— Ахъ ты, погань! Мало тебя мужъ-то бьетъ, мало, ей-Богу... Гадина!

— Полноте, тятенька,—увѣщеваетъ сынъ.

— Да какъ съ ней, стервой, не кричать! Просто отъ рукъ отбилась.

— Просто житья мнѣ въ этомъ дому нѣтъ!—завыла Анна.—И бранятъ, и бьютъ; поѣдомъ съѣли...

— Молчи!—крикнулъ Иванъ Иванычъ.—Пошлю изъ дому къ паршивику...

— Тятенька, полноте!..—проситъ сынъ.

— Я те какъ начну хлестать вотъ этой дубиной... Чисти грибы-то!.. Охъ вы, мои ноженьки!.. Просто житья мнѣ отъ нихъ, чертей, нѣтъ... Ну, такъ Егорушко, теперь ты какъ?

— Да ужъ получилъ мѣсто.

— Ну, слава тебѣ, Господи!—и Иванъ Иванычъ, перекрестился.—Во священники?

— Да, въ Солешинскъ.

— Слава Богу! слава Богу... А ты спалъ ли?

— Дорогой спалъ.

— Поди сосни, Егорушко. Эй ты, што же ты на столъ-то не накрываешь.

— И накрою, подождешь.

— Ахъ, будь ты проклята! Што, мнѣ въ люди идти обѣдать-то?

Время до обѣда Ивана Иваныча прошло скучно для Егора Иваныча; ему должно было слушать ругань отца. Хотя онъ и вступался въ примиреніе, но его не слушали. Сестра его крупно огрызалась отъ отца и все пуще и пуще злила его.

Сталъ Иванъ Иванычъ обѣдать грибницу, сваренную изъ грибовъ, и грибы, зажаренные въ сме-

танѣ. Егоръ Иванычъ тоже сталъ ѣсть, но ѣлъ лѣниво. Старику показалось, что Егоръ Иванычъ брезгуетъ кушаньями.

— Што же ты, Егорушко, не ѣшь?

— Сытъ, тятенька. Я, какъ пріѣхалъ, поросенка поѣлъ. Потомъ сестра пришла, молока принесла и малинки... Да и мы тамъ очень мало ѣдимъ.

— А ты опять бѣгала?—спросилъ строго Иванъ Иванычъ свою дочь.

— Опять брань.

— Принеси молока съ малиной.

Анна принесла молока и малины. Егоръ Иванычъ не ѣстъ.

— Поѣшь, Егорушко.

— Не хочу—сытъ.—Егоръ Иванычъ всталъ.

— А ты посиди, поговоримъ. Али спать хочешь?

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, братъ, я знаю, что спать хочешь... Эй ты, Анна, топи баню!..

— Да какая же теперь баня?—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, братъ, объ этомъ и въ писаніи сказано. Ты у меня золото, Егорушко! А баню надо истопить. Да что съ ней, шельмой, и толковать... Пашка, не балуй, отдеру за вихры-то! Пошелъ за водой!

Егоръ Иванычъ отправился спать на сѣнникъ. Онъ долго думалъ объ отцѣ. Какъ онъ неразвитъ до сихъ поръ! Съ людьми онъ хорошъ, крестьяне любятъ его, отчего же это онъ съ семьей такъ обращается? отчего же эта брань и ворчанье? Тутъ что-то кроется худое. Надо будетъ разспросить у отца или пока молчать, а самому посмотрѣть на нихъ. Онъ спалъ немного; его разбудилъ отецъ.

— Егорушка, спишь?—Эти слова старикъ повторилъ раза четыре. Вымывшись въ банѣ, Поповы стали пить чай.

— А я, Егорушка, давече забылъ сказать тебѣ. Эта шельма у меня совсѣмъ отбила память... Я вѣдь думалъ ѣхать къ тебѣ. Такъ-таки и положилъ завтра ѣхать.

— Зачѣмъ?

— Да что я стану дѣлать съ ними? Петька всего обворовалъ, а вчерась чуть не прибилъ, окаянный.

— Вы бы, тятенька, какъ-нибудь легче урезонивали его.

— Бить его надо, да силъ у меня такихъ нѣтъ... Такъ какъ же теперь насчетъ невѣсты-то?

— Не знаю, какъ.

— Ну, какъ-нибудь... Такъ мы завтра же и ѣдемъ по невѣсту.

— Мнѣ отдохнуть хочется, да и до октября еще долго.

— А какъ да ты опоздаешь?

— Не знаю.

— Нѣтъ, ужъ ты лучше скорѣе вари кашу, а то другой окромя этой не найдешь.

— Знаете ли, тятенька, что меня мучитъ: какъ мнѣ жениться на незнакомой дѣвушкѣ?

— А что?

— Да какъ же? Вѣдь я ея не видалъ даже!

— Такъ что, что не видалъ?.. эка бѣда! Пріѣдемъ, пошлемъ сватью какую-нибудь, и дѣло въ шляпѣ.

— А какъ да она не понравится мнѣ!

— Я вижу, ты большой привередникъ. Больно въ тебѣ нравъ крутой сдѣлался. Да оно такъ и должно быть... Накось, кончи курсъ въ семинаріи! Славно, Егорушка!.. Я бы, какъ кончилъ курсъ, ужъ кѣмъ бы теперь былъ? Ну, кѣмъ бы я былъ?

— Можетъ быть благочиннымъ.

— Ишь ты! А благочиннымъ сдѣлаться—штука.. Нѣтъ, я бы выше былъ.

— Можно быть и благочиннымъ въ губернскомъ городѣ, старшимъ членомъ консисторіи. Тамъ житье славное.

— То-то вотъ ты и есть! А какъ я обучился топорнымъ манеромъ, вотъ и остался на всю жизнь дьякономъ, да и за штатомъ оставили... Нѣтъ, Егорушка, я бы экономомъ архіерейскимъ сдѣлался. Слыхалъ я, что имъ большая честь, да и хорошая жизнь.

— Ну, экономомъ вы могли бы сдѣлаться только тогда, когда вы были бы монахомъ.

— Право?

— Неужели вы не знаете, что экономы выбираются больше изъ монаховъ.

— Я видалъ и протопопа.

— Не знаю. А больше монахи.

— Ну, ужъ я въ монахи не пойду.

— А вотъ монахамъ житье лучше нашего брата, т. е. бѣлаго духовенства.

— Ну, не ври. Монахъ за міръ грѣшный молится.

— Вотъ я такъ могу быть архимандритомъ и архіереемъ даже.

— Ну?!

— Право. И очень легко.

— А какъ?..

— Вотъ какимъ образомъ. Если я теперь поѣду на казенный счетъ въ духовную академію...

— Ну ужъ, не ѣзди, не мучь себя; и то ты ужъ спичка спичкой...

— Мнѣ о. ректоръ предлагалъ, да я сказалъ, что я долженъ всѣми силами заботиться о васъ.

Ивану Иванычу это любо показалось; онъ улыбнулся, но ничего не сказалъ. Вѣроятно, онъ хотѣлъ поблагодарить сына, да только не могъ или не умѣлъ поблагодарить. Егоръ Иванычъ продолжалъ:

— О. ректоръ сказалъ, что это дѣло хорошее, что я за это могу скоро получить священническое мѣсто.

— Вотъ, значитъ, я не дурака выростилъ. Славный ты у меня, Егорушка!.. ей-Богу, славный... А мы вотъ что сдѣлаемъ...

— Что?

— Да нѣтъ, ужъ я теперь не скажу...

— Вы не видали моего указа изъ консисторіи?

— Покажи.

Егоръ Иванычъ показалъ отцу указъ. Отецъ смотрѣлъ, улыбаясь.

— Прочти, Егорушка, не вижу.

Егоръ Иванычъ сталъ читать: «по указу его в-ва, высокопреосвященнѣйшаго (имя рекъ) архіепископа...

— Постой! — И Иванъ Иванычъ убѣжалъ на улицу, Егоръ Иванычъ посмотрѣлъ въ окно.

— Куда же это онъ?—спросилъ онъ сестру.

— Въ кабакъ!—отвѣтила она.

— А онъ ходитъ развѣ туда?

— Ходитъ. Каждый день ходитъ. Онъ и теперь пьяный пришелъ.

— Ты врешь, сестра? Онъ прежде не пилъ.

— Не знаютъ будто! Вотъ ты два года не былъ дома и не знаешь.

— Это все вы, свиньи, довели его до того!— И братъ началъ ходить по комнатѣ.

Сестра обидѣлась на брата и ушла на улицу, ничего не сказавши на замѣчаніе брата.

Егоръ Иванычъ положилъ указъ въ ящикъ, и только что подошелъ къ окну, какъ увидѣлъ около дома толпу крестьянъ, впереди которой шелъ Иванъ Иванычъ, держа въ рукѣ косушку вишневки.

— Сюда, ребятки! сюда!—кричитъ Иванъ Иванычъ крестьянамъ, торжественно входя въ избу.

— Тятенька!—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, ну, голубчикъ...—Онъ уже выпилъ и жевалъ ржаной кусокъ хлѣба.

Въ кухню вошли семеро крестьянъ.

— Вотъ онъ, Егорушка-то! Вотъ онъ, сынокъ-то! — представилъ Иванъ Иванычъ своего сына крестьянамъ.

— Здравствуйте, Егоръ Иванычъ! Наше вамъ почтеніе! — сказали крестьяне, снявши шапки, и поклонились ему.

— Здравствуйте, господа, —сказалъ Егоръ Иванычъ нѣсколько вѣжливо и нѣсколько гордо.

— Какъ поживаете?

— Покорно благодарю, господа.

— Какіе мы господа!.. А вы въ попы идете? Дѣло, Егоръ Иванычъ. Дай Богъ вамъ счастья, дай Богъ!..—сказалъ одинъ крестьянинъ, кланяясь.

— Ну, ребятки, выпейте! За сына моего выпейте:—вѣдь въ священники посвятили...

— Слава тѣ, Господи!

— Самъ преосвященный бумагу далъ.

— Дай вамъ Господи много лѣтъ здравствовать!

Крестьяне присѣли и стали шептаться. Иванъ Иванычъ налилъ рюмку водки и поднесъ Егору Иванычу.

— Выпей, Егорушка. Сладенькая.

— Не могу, тятенька.

— Ну, не церемонься. Знаю я, какъ ваша братья пьетъ. Ну, ну!..

— Егоръ Иванычъ, выпей... Ништо, водка-то сладкая,—просятъ Егора Иваныча крестьяне. Крестьяне эти были старые, честные и добрые люди. Нельзя было не уважить ихъ ради отца. Тутъ не для чего было церемониться, потому что Егоръ Иванычъ выпивалъ въ губернскомъ съ товарищами, но ему хотѣлось показать, что онъ ничего не пьетъ, показать, что онъ бѣгаетъ отъ кабака и подобнаго зелья; но подумавъ, что этимъ крестьянъ не обманешь, и онъ будетъ священникомъ въ другомъ мѣстѣ, онъ выпилъ, сказавъ, что выпиваетъ ради хорошихъ людей.

— Ну, теперь я,—сказалъ Иванъ Иванычъ.

— Во здравіе!— сказали крестьяне.—За сынка-то, Егоръ Иваныча, пейте.

— Ребя, купимъ еще! Штофъ купимъ, чертъ ихъ дери и съ деньгами-то,—сказалъ одинъ, уже хватившій очищеннаго, крестьянинъ.

— Бѣлой! Самой горькой!!—закричалъ другой крестьянинъ, и вытащилъ изъ-за пазухи кожаный кошель съ деньгами.

— Вали! вотъ тѣ пятакъ...

— Мало! вали десять.

— Ну те къ...

— Митрей, дай три копѣйки!

Крестьяне стали выкладывать на лавку копѣйки и грошики. Наклавши тридцать копѣекъ, они послали одного крестьянина за водкой. Между тѣмъ Егоръ Иванычъ разговаривалъ съ двумя крестьянами о хлѣбопашествѣ и о прочихъ хозяйственныхъ дѣлахъ поселянъ.

— А что васъ нынче не дерутъ въ стану?

— Э, Егоръ Иванычъ, объ этихъ дѣлахъ не слѣдъ толковать. Мы люди темные. Ну ихъ къ Богу!.. Третьево дня Максимку отварганили любо; ничего не взялъ.

— За что?

— А такъ, отваляли—и дѣло въ воду. Старосту онъ обругалъ, тотъ становому жалобу написалъ, да, баютъ, сунулъ ему малую толику—ну, Максима и взъерихонили.

Полштофъ выпили. За водкой и послѣ водки разговаривали объ отцѣ Ѳедорѣ, его дочкѣ, вышедшей за станового пристава Антропова. Крестьяне хотѣли-было еще купить водки, но ихъ стала гнать сестра Егора Иваныча. Егоръ Иванычъ, по приказу отца, прочиталъ крестьянамъ консисторскій указъ. Крестьяне слушали, плохо понимая содержаніе этого указа. Они только и поняли, что Егоръ Иванычъ ѣдетъ жениться.

— Вотъ дакъ дѣло.

— Любо! Хозяйка—важнецкая штука.

— А ты ее, смотри, не балуй.

— Нонѣ бабы-то модницы такія стали, просто ужасти!

Крестьяне хотѣли идти, но въ это время пришелъ Петръ Матвѣичъ, пьяный, съ подбитыми глазами. Волосы его были заплетены косоплетками, нарѣзанными изъ платья жены, въ видѣ ленточекъ.

— Здорово, братъ! — сказалъ густымъ басомъ Петръ Матвѣичъ и поцѣловалъ Егора Иваныча.

— Ну, какъ живешь-можешь?

— Ничего.

— Кончилъ курсъ-то?

— Да.

— А мѣсто получилъ?

— Получилъ.

— Братъ, дай денегъ! Ей-Богу, нѣту ни копѣйки! Дай, пожалуйста!

— На что?

— Ты только дай.

— Ты уйди отсель, пока тебѣ не наломали,— сказалъ Иванъ Иванычъ.

Крестьяне стали выходить.

— Куда? Эй, Семенъ, дай денегъ!—закричалъ Петръ Матвѣичъ.

— Нѣту, Петръ Матвѣичъ.

— Дай!..

Крестьяне стали разсуждать на улицѣ, передъ домомъ Попова.

— А что, Михей, дать, аль нѣтъ?

— Да за что дать-то?... кабы дѣло какое, — такъ, а то не за што.

— Такъ оно... развѣ ужъ для дѣдка купимъ.

— Иванъ Иванычу разѣ?...

— Такъ какъ?

— Вотъ и парня-то надо бы угостить.

— За што угощать-то?

— Да ужъ все обнаковенно... Такъ какъ? Смотри—того не надо!

— Да ты, смотри, такъ окличь: на улицу, скажи, просятъ;—а не то на ухо шепни, оно лучше будетъ.

— Да смотри, ежели тотъ придетъ,—шею намылимъ и тебѣ, и ему.

— Съумѣю.

— То-то съумѣю. — Олонись съумѣлъ! самъ, братъ, ты одинъ полштофъ вылокалъ.

— Да смотри, проворнѣй...

На зовъ крестьянъ на улицу вышли Поповы, а за нимъ вышелъ и Петръ Матвѣичъ. Крестьяне озлились на Митрія.

— Ужъ выбрали козла! А ты коли съ нимъ знакомство имѣешь, уходи отсель, — сказалъ одинъ крестьянинъ Митрію.

— Да што я съ нимъ стану дѣлать?

— Батюшко, отецъ дьяконъ, подемъ... Мы какъ-нибудь угостимъ тебя и сынка твово.

— Я, братцы, пить не стану, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Мы вотъ къ Елисею Марковичу подемъ.— Тамъ весело калякать-то.

— Я не пойду въ кабакъ,—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, какъ знаешь, твое дѣло... А только, Егоръ Иванычъ, мы больно тебя полюбили; ужъ ты такой смирный, и Иванъ-то Иванычъ вотъ такъ человѣкъ!.. Право, подемъ!

— Не могу, братцы. Да мнѣ и спать хочется.

— Такъ ты, Егорушко, не пойдешь?

— Нѣтъ.

— Ну, а я такъ пойду.

— Грѣшно, отецъ, тебѣ, на старости лѣтъ, въ кабакъ ходить. Мы лучше дома станемъ толковать.

Ивану Иванычу хотѣлось сходить въ кабакъ, покалякать съ мужичками, и обидно было, что Егорушко церемонится, но подумавъ, что сынъ пріѣхалъ сегодня, онъ не пошелъ въ кабакъ, а пошелъ спать на сѣнникъ, вмѣстѣ съ Егорушкомъ. Крестьяне разошлись по домамъ, разсуждая:

— А каково?

— Иванъ-то Иванычъ ничего, а сынъ-то горденекъ.

— Нельзя, выходитъ: скоро попъ будетъ.

— Счастье!

Между тѣмъ Егоръ Иванычъ разсуждалъ съ отцомъ:

— А вѣдь вы, тятенька, прежде не ходили въ кабакъ?

— Да что станешь дѣлать? Дома водку держать нельзя, потому что Петрушка выпьетъ.

— Вѣдь, тятенька, на водку денегъ много выйдетъ.

— Да, Егорушко; ты правду сказалъ. Все-таки я тебѣ скажу: крестьяне меня любятъ, и потому сами зовутъ.

— Они пожалуй будутъ считать васъ за пьяницу.

— Ну, и пусть ихъ съ Богомъ. Пословица говорится: пьянъ да уменъ—два угодья въ немъ. Какъ выпьешь—оно и хорошо, и горести всѣ забудешь. А вѣдь мнѣ, Егорушко, скажу я тебѣ по совѣсти, трудно было жить. Сначала Петръ тянулъ съ меня сколько денегъ; да ты знаешь... Ну, Анна въ домѣ жила, по крайности хозяйствомъ занималась, теперь ничего не проситъ. Ну, вотъ истягался я, истягался на Петра, дьякономъ сдѣлалъ, а онъ теперь шишъ показалъ. Поди-кось, даромъ деньги-то даются!.. Ну, да Богъ съ нимъ, пусть самъ выроститъ дѣтей, самъ узнаетъ, каково отцу-то... Священникомъ, братъ, трудно сдѣлаться нашему брату: доходы были маленькіе, просто хоть вой, да зубы на спичку вѣсь... Вотъ теперь на тебя я сколько издержалъ... Каждый мѣсяцъ восемь рублей посылалъ, а самъ почти безъ копѣйки оставался. Хорошо еще, что Анна еще не гонитъ, дура...

— Да, тятенька, трудно быть отцомъ.

— Попробуй—и взвоешь такъ, что бѣда!.. Теперь вонъ насчетъ жены тоже штука. Къ примѣру такъ сказать, отца Ѳедора дочь вышла за станового пристава, ну и ладно... Человѣкъ онъ богатый, старенекъ маленько, да все же онъ мужъ, а она, слышь ты, съ мировымъ посредникомъ дѣла имѣетъ. Только это секретъ; ты, смотри, никому не болтай, а то мнѣ худо будетъ.

— Мнѣ какое дѣло!

— Ну, то-то... Мнѣ, знаешь ли, староста сказывалъ. Былъ, говоритъ, я у станового разъ, ну, и увидалъ, говоритъ, въ залѣ станового съ женой и этова посредника. Посредникъ-то ее, слышь ты, на фортоплясахъ учитъ играть... Сижу, говоритъ, я въ залѣ, кофей пью, а мировой около Степаниды Ѳедоровны сидитъ... Только что-жъ бы думалъ? Становой вышелъ въ другую комнату, мировой и поцѣловалъ Степаниду Ѳедоровну. Во что бы ты думалъ? а? въ щеку? То-то што нѣтъ... въ губы! Вотъ оно што!!

— А вѣдь я хотѣлъ жениться на ней.

— Ну, и слава Богу, что не женился. Она съ мировымъ-то посредникомъ еще недавно познакомилась. Становой-то его на свадьбу пригласилъ, ну, съ тѣхъ поръ и пошло.

— А становой не знаетъ?

— Кто его знаетъ? Я съ нимъ мало знакомъ. Да если и узнаетъ, то побоится жаловаться, потому что мировой-то сынъ богатаго помѣщика и съ губернаторомъ знакомъ, такъ что люли. Говорятъ, онъ и повыше эти дѣла ведетъ... Тутъ, братъ, молчи знай. Ты, Егорушко, не проболтайся, пожалуйста.

Егоръ Иванычъ проснулся уже тогда, когда солнышко было высоко, а въ которомъ часу—онъ не

зналъ, потому что въ селѣ часы только у должностныхъ лицъ, и бѣгать справляться далеко и не къ чему, такъ какъ дѣлать рѣшительно нечего, а обѣденъ сегодня не полагалось, такъ какъ день будничный—вторникъ. Онъ долго лежалъ, думая объ отцѣ, сестрѣ, Петрѣ Матвѣичѣ, о крестьянахъ и обо всемъ, что только онъ видѣлъ и слышалъ въ селѣ. Село ему опротивѣло, люди ему показались грубыми. «То ли дѣло у насъ въ губернскомъ!—рѣшилъ онъ.—Надо ѣхать скорѣе въ городъ. Сегодня же поѣду. Здѣсь просто помрешь; здѣсь ничего не услышишь хорошаго, здѣсь слова сказать не съ кѣмъ,—всѣ положительно неучи и всѣ развращены»...

Сошедши съ сѣнника, Егоръ Иванычъ увидалъ своего отца на улицѣ. Онъ сидѣлъ безъ шапки на скамейкѣ у воротъ. Около него сидѣлъ Павелъ и трое ребятъ, крестьянскихъ мальчиковъ. Иванъ Иванычъ училъ ихъ грамотѣ по церковной азбукѣ. Егоръ Иванычъ подошелъ къ отцу.

— Съ добрымъ утромъ, тятенька.

— Спасибо. Равнымъ образомъ. Долгонько, братъ, ты, Егорушко, спалъ.

— А который часъ?

— Не знаю, Егорушко; должно быть, что десятый.

— А вы ученіемъ занимаетесь?

— Да. Такъ-то скучновато, да и Павлушка такъ-то скорѣе выучится. Ты, Егорушко, ѣлъ ли?

— Еще и не умывался.

— Экой ты какой! Все такой же, какъ и прежде: спишь долго, баню не надо, ѣшь мало. Ты поди поѣшь!...

— Мнѣ, тятенька, курить хочется, а табаку нѣтъ.

— А ты понюхай.

— Да я не нюхаю.

— А прежде нюхалъ. Пашка, сбѣгай къ матери; скажи, молъ, дядя денегъ проситъ. Дай, молъ, десять копѣекъ.

Пока Павелъ ходилъ за корешками, Егоръ Иванычъ, умывшись, выпилъ стаканъ молока и сѣлъ къ отцу.

— Ну, ну, шельма, читай! Не то голикомъ въ банѣ отдую,—кричитъ Иванъ Иванычъ одному мальчику. Тотъ читаетъ.

— А ты что склады-то не твердишь? Ахъ ты, шельма!

Виновный твердитъ: «бру, врю, вру, мрю», а дальше ничего не знаетъ.

— Прочитай «Вѣрую»! — приказываетъ Иванъ Иванычъ другому мальчику.

Мальчикъ читаетъ. Иванъ Иванычъ теребитъ мальчика за ухо.

— Пѣсни пѣть знаешь, а молитвы не знаешь!... Ванька, неси голикъ! Пѣсни тебѣ знать?

— Пѣсни знаю...

— А «Вѣрую» зачѣмъ не знаешь?

Мальчикъ смѣется.

— Посмѣйся ты у меня, безрогой скотъ, я те выдеру крапивой! Ванька, неси голикъ! Тебѣ говорю, или нѣтъ?

— Ты погляди въ книгу и выучи, — говоритъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, онъ, Егорушко, еще не умѣетъ читать. Это я его такъ училъ, только онъ «Вѣрую»-то съ «Отче нашъ» смѣшалъ.

— Это хорошо, что вы такъ учите. Нынче даже и азбуки совсѣмъ другія сдѣланы.

— Видѣлъ я, да какъ ни коверкалъ такъ-ту учить, ничего никто не понялъ, да и самъ-то я по нимъ не умѣю учить. Ужъ лучше бы, какъ по старому учили.

— Теперешнее обученье несравненно лучше прежняго.

— Ну ужъ, Егорушко, ты такъ-то учи, а я ужъ по своему, по старому буду.

— У насъ нынче въ простомъ народѣ хотятъ сдѣлать наглядное обученіе.

— Это какъ?

— Нагляднымъ образомъ воспитать ребенка, пріохотить его къ ученью. Можно ребенка учить съ двухъ годовъ.

— Ну, не ври.

— Люди, воспитанные самою матерью и отцомъ, и воспитанные какъ слѣдуетъ, бываютъ впослѣдствіи образованные люди.

— Ты, Егорушко, не мѣшай мнѣ.

Егоръ Иванычъ замолчалъ. Немного погодя, Иванъ Иванычъ сказалъ ему:

— Ну-ко, Егорушко, поучи.

— Ловко ли будетъ?

— А что?

— Да дѣло, видите ли, въ томъ, что если учить, такъ надо учить толкомъ, нужно быть вполнѣ учителемъ.

— Такъ, по твоему, я глупъ? Грѣхъ тебѣ, Егорушка, говорить такія слова про родителя, который выучилъ тебя.

— За это я васъ благодарю. Но все-таки я у васъ научился только читать.

— Такъ что-жъ? На что же семинаріи-то заведены?

— А чтобы учить, нужно выучиться не одному чтенію и письму, а надо знать многое. Даже вотъ и насъ учили, а выучили очень немногому.

— Чего же еще тебѣ надо?

— Мы, какъ говоритъ большинство нашей братіи, только и умѣемъ, что хорошо читать, да складно, умно сочинить, а самой жизни, т. е. общества, различныхъ сословій, и не знаемъ, потому что въ наши головы много вбили ни къ чему не ведущей теоріи.

— Красно ты, Егорушко, говоришь, хоть куды новый дьяконъ нашъ; на одну бы васъ доску поставить... Вы должны спасибо сказывать, что васъ обучили, истягались на васъ... Коли бы ты ничего не смыслилъ, то не вышелъ бы прямо въ священники.

Егору Иванычу ничего больше не оставалось говорить съ отцомъ, и время до обѣда прошло скучно. За обѣдомъ Егоръ Иванычъ спросилъ отца, когда ѣхать. Отецъ сказалъ, что завтра именинница жена отца Ѳедора, и надо бы Егору Иванычу сегодня сходить къ нему въ гости. Егоръ Иванычъ обѣщался сходить вечеромъ; но отецъ Ѳедоръ самъ пришелъ. Это былъ здоровый мужчина, съ брюш-

комъ, съ огромной бородой. Онъ пришелъ, какъ подобаетъ старшему священнику, въ рясѣ и съ палкой. При входѣ его въ комнату Ивана Иваныча, всѣ бывшіе тутъ, въ томъ числѣ и Петръ Матвѣичъ, встали и подошли подъ благословеніе, кромѣ Егора Иваныча, которому отецъ Ѳедоръ пожалъ руку.

— Здравствуйте, Егоръ Иванычъ!

— Здравствуйте, отецъ Ѳедоръ, покорнѣйше просимъ! — сказалъ робко и съ трепетомъ Петръ Матвѣичъ.

— А! и ты дома!.. Что, еще не пьянъ?—сказалъ Петру Матвѣичу отецъ Ѳедоръ.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— То-то. Всю семью загубилъ... Ну-съ, кончили?—обратился отецъ Ѳедоръ къ Егору Иванычу.

— Да.

— Я слышалъ, вы уже бумагу получили?

— Получилъ.

— Можно полюбопытствовать?

Егоръ Иванычъ вытащилъ указъ и подалъ отцу Ѳедору.

— Хорошо,—сказалъ онъ, прочитавъ.—Слава Богу. Вчужѣ сердце радуется... Дай Богъ, дай Богъ! А Будринъ куда дѣлся?

— Будринъ померъ.

— Что вы?! Вотъ, живемъ здѣсь, ничего не знаемъ. Ну, да ему туда и дорога. А этотъ-то Раскарякинъ каковъ?—спросилъ отецъ Ѳедоръ про члена, подписавшаго указъ.

— Говорятъ, хорошій человѣкъ.

— Такъ-съ!.. Дай Богъ, дай Богъ!.. Ну-съ, вы когда ѣдете?

— Да ѣду завтра утромъ.

— Что вы! что вы! Завтра моя супруга именинница. — Прошу покорно пожаловать съ Иваномъ Иванычемъ. Дѣдко, приходи!

— Покорнѣйше благодаримъ! — отозвались Поповы.

— Непремѣнно.—Я сердиться буду, если вы не придете.

— Очень хорошо-съ.

— Прощайте. Такъ приходите. У меня соберется много людей: становой, зять съ моею дочерью, мировой посредникъ, голова съ женой, отецъ Василій съ женой, дьяконъ съ женой... Да, Анна Ивановна, ты должна придти ко мнѣ на исповѣдь сегодня вечеромъ. Слышишь?

Анна Ивановна струсила.

— Да, батюшка, отецъ Ѳедоръ, нынче не постъ,— сказала она

— Я того требую.

— Что ты отнѣкиваешься? — крикнулъ на нее супругъ.

— Очень хорошо.

— Прощайте. Я жду васъ завтра. Послѣ обѣдни такъ и приходите.

— Покорно благодаримъ.

Отецъ Ѳедоръ ушелъ.

— Вотъ что значитъ, Егорушка, кончить курсъ! На что отецъ Ѳедоръ гордый человѣкъ, и тотъ пришелъ поздравить!—торжествуетъ Иванъ Иванычъ.

— Што, попалась, гадъ ты экой!.. Онъ те проберетъ,— кричитъ на Анну супругъ.

— И не пойду.

Слѣдуетъ брань и побои, которые разнимаетъ Егоръ Иванычъ. Егоръ Иванычъ ушелъ съ отцомъ изъ дому, оставивъ сестру съ мужемъ.

— Неужели, тятенька, сестра испортилась?

— Лучше и не спрашивай. Беззаконіе такое, что хоть вонъ бѣги изъ дому.

— Сестра говоритъ, что будто мужъ ея...

— Вѣрь ты ей! Мало ли чего она говоритъ. Вретъ.

— Намъ надо уѣхать скорѣе отсюда.

— Уѣдемъ. Егорушка, зайдемъ выпить?

— Не могу. Неловко какъ-то ходить въ кабакъ; еще этотъ отецъ Ѳедоръ въ Столешинскъ напишетъ.

— Правда, правда.

Поповы прошли нѣсколько домовъ. Встрѣчные мужчины и женщины кланяются низко и, оглядываясь, смотрятъ на Егора Иваныча.

— Гляди-ко, сынокъ-то отца дьякона какъ выросъ!

— Баютъ, въ попы придѣлятъ. Старше отца будетъ: отецъ ему въ церкви кланяться станетъ.

— Чудное дѣло!

У небольшого пруда Поповы сѣли.

— Такъ-тось, Егорушко!—сказалъ Иванъ Иванычъ, въ раздумьи понюхивая табакъ.—Дѣла, какъ сажа бѣла.

— Все пока хорошо. Одно только мучитъ — невѣста.

— А тамъ-то, ты думаешь, поди-кось, мало расходовъ надо?

— Да меня прямо посвятятъ: объ этомъ будетъ хлопотать самъ ректоръ.

Поповы замолчали. Егору Иванычу вдругъ пришла мысль: а что, если въ это время переведутъ ректора? О переводѣ его говорили въ семинаріи всѣ профессора. А что, если самъ владыко умретъ или раздумаетъ? Вотъ и живи женатый. Это онъ сообщилъ своему отцу потому, что одинъ женатый богословъ цѣлый годъ жилъ безъ мѣста, и у жены дочь родилась, такъ что онъ принужденъ былъ въ свѣтскіе выйти. Старикъ, зная по опыту, какъ даются мѣста, и познакомившись назадъ тому семь лѣтъ съ ставленниками въ губернскомъ городѣ, запечалился.

— Да, Егорушка, плохи дѣла-то. Вѣдь и рясу нужно новую, хорошую. У меня есть ряска, да на твой ростъ маловата будетъ. Развѣ перешить?

— Когда женюсь, рясу дадутъ.

— Надо бы тебѣ и сертучекъ сшить, а денегъ нѣтъ. Стащить развѣ у Петрушки подрясникъ?

— Нѣтъ, ужъ вы его не троньте.

Пошли назадъ мимо дома станового пристава. У окна сидѣла Степанида Ѳедоровна съ мужемъ. Поповы шапки имъ сняли.

— Здравствуй, Иванъ Иванычъ! Что, сынокъ пріѣхалъ?—спросилъ становой приставъ.

— Да, Максимъ Васильичъ. Уже мѣсто получилъ, скоро свадьба будетъ.

— Радуюсь.

— А вы, Егоръ Иванычъ, гдѣ берете невѣсту?— спросила Егора Иваныча Степанида Ѳедоровна.

— Въ Столешинскѣ же, у отца Василья Будрина.

— Хороша собой?

— Не видалъ еще.

Степанида Ѳедоровна захохотала и что-то проговорила такъ, что Поповъ не разслышалъ.

— Полно ты, дурочка, смѣяться. А что, приданое большое?—спросилъ становой приставъ.

Поповы пошли было, но становой сталъ разспрашивать Егора Иваныча про губернскія новости; Егоръ Иванычъ на эти вопросы отвѣчалъ ясно и коротко: не знаю.

На другой день, по случаю именинъ жены отца Ѳедора, въ церкви служили обѣдню всѣмъ соборомъ, т. е. два священника, отцы Ѳедоръ и Василій, дьяконъ Никита Ѳадеичъ. Очередь подавать кадило, ставить налой и исправлять служительскія обязанности приходилась Петру Матвѣичу. Онъ всячески старался выслужиться передъ отцомъ Ѳедоромъ, но тотъ все глядѣлъ на него косо. Поповы и пономарь Кириллъ Антонычъ пѣли на клиросѣ. У Егора Иваныча голосъ ни теноръ, ни басъ, и онъ не умѣетъ пѣть по сельски, хоть какъ ни старается спѣть. Отецъ его поетъ охриплымъ голосомъ. За то Кириллъ Антонычъ заливается какимъ-то тоненькимъ голоскомъ. Онъ поетъ скоро, такъ что Иванъ Иванычъ унимаетъ его: «Кирила, тише!»

— Откачаемъ!—говоритъ Кирила и поетъ снова.

Въ то время, когда на клиросѣ не поютъ, наши пѣвчіе разговариваютъ.

Въ церкви народу было немного, двое нищихъ и шесть женщинъ. Служба кончилась рано. Послѣ молебна отецъ Ѳедоръ пригласилъ къ себѣ Поповыхъ. Поповы пошли домой для того, чтобы принарядиться получше и умыться. Егоръ Иванычъ одѣлся въ то же, въ чемъ пріѣхалъ, только на шею надѣлъ бѣлый галстухъ, сапоги помазалъ свѣчнымъ саломъ, чтобы они не были слишкомъ пепельнаго цвѣта. Иванъ Иванычъ надѣлъ единственную сѣренькую ряску, сшитую назадъ тому семь лѣтъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ губернскій городъ. Волосы оба напомадили деревяннымъ масломъ, при чемъ Иванъ Иванычъ замѣтилъ сыну, что хотя и пахнетъ отъ волосъ, за то волоса хорошо ростутъ. Егоръ Иванычъ никогда не бывалъ въ такихъ обществахъ, какое ему приводилось видѣть. Положимъ, онъ бывалъ на свадьбахъ, похоронахъ; но, не бывши пѣвчимъ, онъ бывалъ только въ обществѣ своихъ сельскихъ знакомыхъ, да у жителей деревень, прихожанъ Ивановской церкви. Здѣсь ему нужно было быть въ обществѣ станового пристава; да онъ еще узналъ, что въ село пріѣхала какая-то коммиссія по какому-то дѣлу, и въ этой коммиссіи находятся два чиновника изъ губернскаго города; а такъ какъ отецъ Ѳедоръ тоже находился въ этой коммиссіи, то вѣроятно, и она тоже будетъ приглашена на обѣдъ. Поэтому Егору Иванычу на обѣдъ идти не хотѣлось; не хотѣлось еще потому, что отъ этого обѣда ему пользы мало, а лучше бы ѣхать за невѣстой. Но дѣлать нечего, такой ужъ обычай, что если пригласили, то надо идти, а то обидятся.

Когда пришли Поповы къ отцу Ѳедору, тамъ уже были становой приставъ съ женой, священникъ Василій Гаврилычъ съ женой Марьей Кондратьевной и дѣтьми, сыномъ Василіемъ 11 лѣтъ и дочерью Марьей 3 лѣтъ, дьяконъ Никита Ѳадеичъ съ женой Ольгой Семеновной, голова Максимъ Тарасычъ и староста Сидоръ Павлинычъ. Всѣ они, за исключеніемъ дьякона Никиты Ѳадеича, его жены и дѣтей,—люди здоровые, что называется, откормившіеся. Поповыхъ встрѣтилъ самъ хозяинъ.

— Опоздали, Иванъ Иванычъ,—сказалъ весело, уже выпившій водки, хозяинъ.

— Съ дорогой именинницей! — сказалъ Иванъ Иванычъ; это же повторилъ и Егоръ Иванычъ съ прибавленіемъ: «имѣю честь поздравить».

— Покорно благодарю. Проходите.

Иванъ Иванычъ поклонился всѣмъ, Егоръ Иванычъ поклонился каждому особо, кромѣ нѣкоторыхъ женщинъ.

— Это вашъ сынокъ?—спросилъ Ивана Иваныча становой.

— Мой.

— Мое вамъ почтеніе!—сказалъ онъ и, подойдя къ Егору Иванычу, протянулъ ему руку.—Я васъ право не узналъ. Извините.

— Вчера я видѣлся съ вами.

— Виноватъ, сто тысячъ разъ виноватъ.

Пошли разспросы о губернскихъ новостяхъ, о женитьбѣ Егора Иваныча.

— Вы жену непремѣнно богатую берите, да здоровую такую...—сказалъ голова.

— Какъ же вы, Егоръ Иванычъ, не знавши невѣсты, хочете жениться? Это выходитъ—на комъ-нибудь,—сказала Степанида Ѳедоровна.

— Что же дѣлать, если наше положеніе такое!— сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Эдакъ не годится, Егоръ Иванычъ.

— Не знаю.

— Э, полно вамъ безтолочь говорить! Ты вотъ начиталась свѣтскихъ книгъ, а тоже вышла за старика, — сказалъ смѣясь хозяинъ и попросилъ гостей пройтись по рюмочкѣ. Вошла хозяйка. Поповы поздравили ее со днемъ ангела. Она поблагодарила и удивилась, что Егоръ Иванычъ выросъ и получилъ мѣсто. Петръ Матвѣичъ и пономарь прислуживали.

Началось чаепитіе. Разговаривали сначала мало, потомъ, выпивши больше, говорили о предметахъ, касающихся хозяйства. Всѣхъ больше ораторствовали становой и хозяинъ, и каждый изъ нихъ повидимому хотѣлъ, чтобы его всѣ слушали. Становой разсказывалъ о слѣдственныхъ дѣлахъ, ругалъ станового Кирьянова, который сдалъ ему не всѣ дѣла, и по его милости Антроповъ долженъ былъ заплатить деньги какіе-то, ругалъ исправника и говорилъ, что онъ непремѣнно уѣдетъ въ губернскій городъ, чтобы похлопотать о мѣстѣ судебнаго слѣдователя или засѣдателя въ уѣздномъ судѣ; хозяинъ разсказывалъ о разныхъ поѣздкахъ въ городѣ и прочее, причемъ спрашивалъ Егора Иваныча, ка-

ково тамъ житье, каковы члены консисторіи нынѣ и т. д. Женщины сплетничали. Одна только Степанида Ѳедоровна рѣдко отвѣчала на вопросы, она часто уходила въ комнаты и говорила съ дѣтьми, своими сестрами. Она уже облагородилась, научилась поднимать голову вверхъ, говорить свысока. Егоръ Иванычъ сидитъ съ своимъ отцомъ. Говорить нечего, ему неловко, и думаетъ онъ: «уйти бы отсюда домой скорѣе; а то какъ на иголкахъ сидишь. Послушать нечего, говорятъ все вздоръ какой-то»...

— Что это, Ѳедоръ Терентьичъ, Александръ Алексѣичъ нейдетъ?—спрашиваетъ хозяйка хозяина.

— Не знаю.

— Вѣроятно дѣла,— отвѣчаетъ становой.

— И что это нынче за мировые за такіе? Безъ нихъ бы можно обойтись. Заставили бы насъ исправить это дѣло, мы бы то же сдѣлали. А то теперь жалованье маленькое такое, доходовъ мало, можно бы и намъ дать такое жалованье; меньше бы даже можно дать,—говоритъ хозяинъ.

— Это такъ. Можно бы намъ половину изъ того жалованья дать,—подтверждаетъ отецъ Василій.

— Правда ваша. Однако можно бы и намъ поручить,—не соглашается становой.—Вотъ теперь судебные слѣдователи—совсѣмъ лишніе.

— Все казна.

— Казна. А вѣдь начало-то у насъ?.. Доходовъ теперь мало стало.

Пришелъ мировой посредникъ, поздравилъ хозяйку съ днемъ ангела, хозяина—съ именинницей, остальнымъ поклонился фамильярно и какъ-то гордо посмотрѣлъ на Егора Иваныча. Хозяинъ представилъ ему Егора Иваныча. Александръ Алексѣичъ сказалъ только: «очень пріятно познакомиться». Онъ сѣлъ къ Степанидѣ Ѳедоровнѣ. Егоръ Иванычъ сталъ слѣдить за ними.

— И вы здѣсь?—спросилъ Александръ Алексѣичъ жену станового шопотомъ.

— Нельзя. Папаша обидится,—сказала она тоже шопотомъ.

— Вамъ нужно учиться французскому языку; вы еще такъ молоды.

— Я Максимку буду просить... Да къ чему?

— Говорить здѣсь въ этой берлогѣ нельзя обо всемъ.

— Они не осердятся.

— Видите ли, есть такія слова, которыя не понравятся этой публикѣ.

— Чѣмъ вамъ эта публика не нравится?

— А вы послушайте, что̀ они говорятъ.

— Они все хорошо говорятъ.

— Они говорятъ то, что меня не займетъ.

— Пожалуйте хересу, Александръ Алексѣичъ,— сказалъ хозяинъ. Александръ Алексѣичъ выпилъ со всѣми гостями. Пришли чиновники слѣдственной коммиссіи. Они поздоровались только съ хозяевами, становымъ приставомъ и мировымъ посредникомъ. Прочихъ только обвели глазами. На Егора Иваныча они не обратили вниманія. Они часто говорили между собою и съ Александромъ Алексѣичемъ на французскомъ языкѣ. Начался обѣдъ. Хозяинъ зналъ приличія свѣтскаго общества, и потому обѣдъ былъ не за общимъ столомъ, а гости обѣдали каждый особо. Поповы сидѣли съ дьякономъ, дьяконица съ женой головы.

— Вы давно кончили курсъ?—спросилъ Егоръ Иванычъ дьякона.

— Четыре года, да два года жилъ безъ мѣста. А вамъ такъ счастье.

— Ну, что же, теперь хорошо?

— И не приведи Богъ! Доходовъ мало.

— Плохо. А скоро женились?

— Я-то!.. Я выпью водочки!.. Пойдемте?—Дьяконъ выпилъ сразу двѣ рюмки и началъ разсказывать про женитьбу.

— Вы, Никита Ѳаденчъ, о чемъ разсуждаете?— спросилъ его становой.

— Тутъ романъ, Максимъ Васильичъ. Отецъ дьяконъ ставленника учитъ... Не мѣшайте,—сказалъ хозяинъ.

— Вы въ священники?—спросилъ Егоръ Иваныча мировой посредникъ.

— Точно такъ.

— Вы бы въ университетъ шли.

— Куда ужъ нашему брату туда соваться!—сказалъ Иванъ Иванычъ.

Начался всеобщій разговоръ. Дьяконъ продолжалъ.

Гости были, что называется, навеселѣ.

— Знаете ли, какое у насъ пакостное было дѣло!—говорилъ становой:—баба мужа зарѣзала.

— Ну, это у насъ сплошь и рядомъ. А я вамъ скажу вотъ что,—началъ хозяинъ:—приходитъ ко мнѣ баба и говоритъ:—«батюшка, что я стану дѣлать, мужъ меня бьетъ за все, слова никакого не даетъ сказать. Я, говоритъ, ужъ отравить его хотѣла, да совѣсть мучитъ, помоги ты мнѣ!»

— Экая барыня!—сказали женщины и становой.

— Что же вы?—спросилъ одинъ чиновникъ.

— Ну, я положилъ на нее эпитимію.

— Вотъ такъ славно. Хорошенько бы ее, каналью, розгами. Вы бы ее ко мнѣ послали, задалъ бы я ей перцу съ горошкомъ,—сказалъ становой.

— За что же вы наказывать-то ее вздумали?— спросилъ мировой.

— А по вашему не слѣдуетъ?

— Она невиновата, потому что мужъ ее бьетъ.

— По вашему ужъ мужъ не воленъ бить свою жену?—спросилъ хозяинъ.

— Не имѣетъ права.

— Какъ?

— Потому что женщина должна быть равна своему мужу.

— Это откуда вы взяли?

— А оттуда, что женщина такой же человѣкъ, какъ и мужчина, только разница въ тѣлесномъ ея сложеніи.

— Вы сами себѣ противорѣчите, Александръ Алексѣичъ. Она должна дѣтей рождать.

— Такъ что же? дѣтей рождаютъ даже всѣ животныя, которыя между собой всѣ равны.

— Ничего вы не знаете! Въ писаніи прямо сказано:—жена да боится своего мужа. Что взяли? А?!—Всѣ захохотали.

— Каково васъ, Александръ Алексѣичъ, батька-то отдѣлалъ!—сказалъ становой, хлопая въ ладоши и хохоча.

— Да отдѣлывать-то надо фактами, опытомъ.

— Ужъ вы лучше молчите!

— А я вамъ скажу вотъ-что: напримѣръ, наша Екатерины II кто была?

— Женщина.

— Стало быть, она имѣла же право управлять цѣлымъ царствомъ... Королева Викторія тоже женщина.

— Экъ вы куда хватили? Развѣ можно равнять царей съ людьми?

— Я не хочу этого сказать, но доказываю, что женщина должна быть равна мужчинѣ. Это у насъ уже вводится. Въ Петербургѣ я знаю многихъ магазинщицъ-женщинъ, занимающихся мастерствомъ и торговлей, безъ помощи мужчинъ: онѣ совершенно независимы отъ мужчинъ и изъ своихъ заработковъ платятъ разныя повинности.

— Ну, это еще не доказано.

— Какъ не доказано! Какое же вамъ еще доказательство, когда это все существуетъ?

— Можетъ быть это только въ вашемъ Петербургѣ, а здѣсь не то. Тамъ всѣ люди не такіе.

— И духовные не такіе?

Хозяинъ замолчалъ. Онъ обидѣлся.

Чиновники стали разсуждать о равенствѣ крестьянъ съ чиновниками и прочею людскою братіею.

— Крестьяне должны быть равны,—спорилъ Александръ Алексѣичъ.

— Да,—подтвердилъ одинъ пріѣзжій чиновникъ.

— Нѣтъ, врете. Я чиновника не промѣняю на крестьянина, и руки ему не дамъ,—споритъ приставъ.

— А староста развѣ не крестьянинъ?

Староста обидѣлся.

— Вы мою честь изволите задѣвать?

— Чести вашей мы не тронемъ, а только говоримъ, что вы такой же крестьянинъ, какъ и другой бѣднякъ.

— Экъ куда заѣхали! Умны больно! А что сказано въ писаніи: всяка душа властямъ предержащимъ да повинуется,—сказалъ хозяинъ.

— Если палочку я поставлю, то я могу сказать крестьянину: «кланяйся, каналья», и поклонится!—прибавилъ становой.

— Не та пора, батюшка, нынѣ. За обиду крестьянину вы по закону сами должны будете въ ноги кланяться ему, - сказалъ мировой посредникъ.

— А вотъ что, батюшка, отчего это крестьяне на васъ жалуются! А? это отчего?—спросилъ мирового хозяинъ.

— А вамъ какое дѣло!

— Я пастырь, я долженъ защитить ихъ.

— Вѣроятно они жалуются на то, что имъ не нравится надѣлъ, хотя я ихъ надѣлилъ даромъ.

— А! дали имъ землю такую, которая никогда не дастъ хлѣба, а себѣ хорошую взяли?

— И на васъ, Ѳедоръ Терентьичъ, жалуются крестьяне, что вы даромъ не крестите ребятъ.

Начался споръ, ругань и, если бы тутъ были люди равные, непремѣнно дошло бы до рукопашнаго боя.

— Что такое священникъ?

— Пастырь народа.

— Священникъ долженъ быть равенъ всѣмъ.

— Дудки.

— Г. ставленникъ, потрудитесь объяснить. Можетъ быть у васъ поновѣе науки были.

— По наукамъ насъ малому выучили, но я съ вами согласенъ. Я хочу быть священникомъ именно такимъ, какихъ еще не бывало.

Начался гвалтъ. Чиновники хвалили Егора Иваныча, прочіе всѣ остервенились на него. Однако мировой уладилъ все дѣло.

— Господа, не будемте говорить серьезно. Будемте праздновать именины дружески.

— Образованные люди не должны сердиться изъ-за убѣжденій,—сказалъ одинъ чиновникъ.

— Господа, сыграемте въ карты!—сказалъ становой.

— Намъ некогда, Максимъ Васильичъ: у насъ коммиссія,—сказалъ одинъ изъ чиновниковъ.

— Успѣете еще. Пойдемте въ садъ.

Гости согласились сыграть въ стуколку. Ушли въ садъ. Въ саду были поставлены два стола: одинъ съ винами и закуской, а другой—для играющихъ. Сѣли играть два губернаторскихъ чиновника, становой, хозяинъ и Василій Гаврилычъ. Александръ Алексѣичъ ходилъ по саду со Степанидой Ѳедоровной, Иванъ Иванычъ прикурнулъ въ саду, а Егоръ Иванычъ сидѣлъ съ дѣтьми.

Во дворѣ пировали крестьяне съ женами. Ѳедоръ Терентьичъ, по заведенному порядку, созвалъ нѣсколько хорошихъ крестьянъ съ женами и дѣтьми, выставилъ имъ ведро водки, два ведра пива и выдалъ изъ кухни два пирога съ рыбой и двѣ латки съ двумя поросенками. Крестьяне напились: одни запѣли пѣсни, другіе кричали:

— Ай да отецъ Ѳедоръ!

— Угостилъ, голубчикъ!

— Дай ему Богъ много лѣтъ здравствовать!

— Ей, Терентьичъ, скличь-ко матушку!

— Ужь мы поблагодаримъ ее... Зови ее, Анну-то Митревну!

Терентьичъ ушелъ и воротился:

— Анна-то Митревна спать изволитъ.

— Умаялась, голубушка! Дай Богъ ей здоровья!—вопятъ бабы и крестятся.

Трое крестьянъ борются, прочіе хохочутъ.

— Эй, ты, Егорко! ногой-то его, ногой! Вотъ такъ!

— Да мы вдвоемъ лучше.

— А что, братцы, кто лучше: отецъ Ѳедоръ, али отецъ Василей?

— Ништо! Отецъ Ѳедоръ лучше.

— Нѣтъ, по моему, отецъ Василей лучше.

— Все однако. А што, ребя! водки-то маловато... вали еще!.. Митюха, сбѣгай-ко въ кабакъ за четвертной.

— Будетъ вамъ, лѣшіе!—Налопались и такъ!—кричатъ бабы.

— Ну васъ къ лѣшимъ! Пошли домой!

— А кто это тамъ въ саду-то?

— Да слѣдственники, баютъ, по монеткамъ пріѣхали.

— Братцы, подемъ домой... Они, знаешь, штука!

— Подемъ. Поди, Митюха, зови отца Ѳедора.

Къ крестьянамъ подошелъ Егоръ Иванычъ.

— А, Егоръ Иванычъ! Наше вамъ-съ! Какъ поживаете, Егоръ Иванычъ?

— Слава Богу.

— Присядьте, Егоръ Иванычъ, съ нами.

— Не трогъ! Што безпокоишь?..

Егоръ Иванычъ сѣлъ.

— Ну, какъ, братцы, поживаете?

— Ништо. Вашими молитвами, слава тѣ Господи.

— А што, Егоръ Иванычъ, баютъ, опять быттo бъ наборъ! баютъ, пятнадцать человѣкъ съ тысячи?

— Не слыхалъ.

— Баютъ, война такая ли начнется—ужасти!

— Не знаю.

— Полно, Егоръ Иванычъ! Вы вѣдь, баютъ, въ священники скоро придѣлитесь. Ужъ вамъ эфти дѣла всѣ извѣстны, не то что намъ.

— А война будетъ!

— Ужъ это такъ, безъ войны нельзя, потому, значитъ, отецъ Ѳедоръ такъ баялъ.

— Ономедни въ церкви читалъ, читалъ...

— Когда?

— А ономедни, помнишь, какъ ты ошшо прикурнулъ. Сколь смѣху-то было!

Крестьяне захохотали; началась свалка: прикурнувшаго въ церкви крестьянина одинъ дружески ударилъ по головѣ, другой щелкнулъ по носу, прикурнувшій сдачи далъ; пристали прочіе. Егоръ Иванычъ ушелъ въ садъ. За нимъ ушелъ и одинъ крестьянинъ, старикъ Петръ Егорычъ. Онъ пользовался въ селѣ всеобщимъ почетомъ, и потому пошелъ отъ крестьянъ благодарить хозяина на угощеніи.

— Что, Егорычъ?—спросилъ его хозяинъ.

Петръ Егорычъ поклонился и сказалъ:

— Покорно благодаримъ, батюшко, на вашемъ угощеніи. Славно напились и наѣлись.

— Спасибо. Наѣлись ли ребятки-то! Сыты ли?

— Очеино благодарны остаемся.

— Ну, спасибо. Да скажи имъ, чтобы они завтра мою траву скосили.

— Очеино хорошо-съ.

Петръ Егорычъ стоитъ.

— Ну, что тебѣ еще?

— Мнѣ бы, батюшко, поговорить съ вами надобно.

— Теперь некогда.

Петръ Егорычъ все стоитъ.

— Убирайся, каналья! тебѣ сказано, что некогда!—закричалъ становой.

Петръ Егорычъ, почесавъ затылокъ, ушелъ.

— Егоръ Иванычъ, потрудись спросить, что ему надо,—сказалъ отецъ Ѳедоръ Егору Иванычу.

Егоръ Иванычъ ушелъ. Петръ Егорычъ пришелъ къ крестьянамъ во дворъ.

— Ну, что, Петръ Егорычъ?

— Ништо. Некогда, баетъ.

— А, дуй те горой! Подемъ всѣ! Вали!

— Да, некогда! Дѣла, вишь ты: въ карты играютъ!

— Ну ихъ къ лѣшимъ!..

Крестьяне пошли на улицу.

— Отецъ Ѳедоръ велѣлъ мнѣ спросить тебя Петръ Егорычъ, что вамъ надо?—спросилъ Егоръ Иванычъ.

— Ужъ эфто дѣло мы сами знаемъ. Ужъ ему и скажемъ, а тебѣ нѣтъ.

Егоръ Иванычъ ушелъ назадъ.

Высшее сельское общество только послѣ ужина разошлось по домамъ.

— Ну, Егорушко, насмотрѣлись мы на людей. Говорятъ—просто уши вянутъ. Это, по моему, оттого, что зазнались больно, заважничались,—говорилъ Иванъ Иванычъ, возвращаясь домой и пошатываясь.

— Нѣтъ, тятенька, это не отъ барства, а отъ того, что они свѣтскіе люди.

— Бойся ты этихъ людей. Ради Бога, бойся!.. А я, Егорушко, пьянъ! О э-э, какъ пьянъ!.. А я, братъ, хоть и пьянъ, а знаю, что у меня лошадка не поена стоитъ. Анна дура не напоитъ. Я хоть и пьянъ, Егорушко, а позови меня на требу—все сдѣлаю... А позови Ѳедора Терентьича или Василія Гаврилыча—не пойдутъ, ей-Богу, не пойдутъ...

«Эдакая скука!»—думаетъ Егоръ Иванычъ.

— А ты, Егорушко, не пьянъ?

— Голова болитъ.

— А ты, Егорушка, много пилъ. Грѣшно... Стыдно, Егорчикъ... Ты еще молодой, примѣръ долженъ другимъ показывать... Ужъ больно мнѣ не понравилось, какъ ты тамъ съ мировымъ въ одно слово сказалъ. Они люди такіе скверные... Ну, какъ можно обижать отца Ѳедора?

— Я его не боюсь. Вѣдь я самъ буду священникомъ, да еще городскимъ.

— У! ты моя чечечка! золото ты мое! Иванъ Иванычъ обнялъ сына и поцѣловалъ разъ пять.—Голубчикъ ты мой!—Иванъ Иванычъ захныкалъ.

— Полно, отецъ.

— Сыночекъ ты мой!

— Будетъ, завтра ѣхать надо.

Старикъ очнулся.

— А что, развѣ я не поѣду? Я, братъ, такую пляску задамъ! Всѣхъ удивлю.

— Надо бы сертучекъ сшить.

Старикъ задумался.

— Ну, Егорушко, не тужи, все справимъ.

Рано утромъ Поповы закусили, запрягли лошадь въ повозку, наклали въ нее необходимыя туалетныя принадлежности, хлѣба, пироговъ и стали прощаться съ Анной и ея мужемъ.

— Смотри, Анна, живи скромненько да домишко береги,—наставляетъ отецъ.

— Все, тятенька, исполню. Ты, тятенька, скорѣе пріѣзжай.

— Ну ужъ, не знаю. Вы меня здѣсь совсѣмъ

измучили. Живите скромненько. А ты, Петръ Матвѣичъ, не бей Анну: Богъ тебя накажетъ.

Петръ Матвѣичъ молчитъ. Ему, какъ видно, жалко разстаться со старикомъ. Анна плачетъ. На прощаньяхъ всегда какъ-то на человѣка грусть находитъ. Каковъ бы человѣкъ ни былъ: золъ ли онъ, капризенъ ли, или просто дуракъ, но съ которымъ живешь нѣсколько лѣтъ, такъ оно грустно дѣлается въ то время, когда онъ уѣзжаетъ. Поповы поцѣловались со своими родными, тѣ заплакали, заплакалъ и Иванъ Иванычъ, хотя ему не слѣдовало бы плакать; вѣроятно онъ оттого заплакалъ, что ему представилось то, какъ Петрушка будетъ тиранить свою жену. Крестьяне и мальчишки хотя и не плакали, но имъ было жалко своего дѣдушки.

— Иванъ Иванычъ, смотри, скорѣй пріѣзжай.

— Какъ женишь своего сына, такъ и пріѣзжай.

— Прощайте, ребятки!—старикъ со всѣми поцѣловался.

— Прощайте, братцы!—сказалъ Егоръ Иванычъ.

Поповы тронулись. Крестьяне долго глядѣли на нихъ, а встрѣчные шапки скидывали и говорили: «прощайте». Они поѣхали мимо дома отца Ѳедора. Онъ уже всталъ и сидѣлъ въ рубахѣ у окна, съ папироской во рту.

— Прощайте, Ѳедоръ Терентьичъ, — сказалъ Иванъ Иванычъ.

— Прощайте! Съ Богомъ!

Старикъ погналъ лошадь, и лошадь припустила шагу.

— Въ которую же сторону дорога идетъ въ Столешинскъ?—спросилъ отца Егоръ Иванычъ.

— А вотъ выѣдемъ, спросимъ.

— Куда это, Иванъ Иванычъ?—спросилъ старика попавшійся письмоводитель станового пристава, шедшій съ пруда съ уделишкомъ.

— Въ Столешинскъ, сына женить.

— Какое имъ, тятенька, дѣло, куда мы ѣдемъ? Какъ глупъ этотъ сельскій народъ!

— Экой ты глупый, Егорушко!.. Ужъ обычай такой. А вотъ ты женись-ко, да посвятись—проходу не дадутъ, все будутъ спрашивать... Пустяки, пустяки, а тоже, на-кось, попробуй, женись, да посвятись!.. Раскуси-ко!..

III.

Столешинскъ—городъ старый. Построенъ онъ между двумя горами и раздѣляется маленькой рѣчкой, которая въ іюлѣ мѣсяцѣ дѣлается ручейкомъ. Иной заводъ лучше выглядитъ, чѣмъ Столешинскъ. Онъ только и славится, что пятью каменными церквами аритектуры XVII и XVIII столѣтій. Въ немъ только два частныхъ каменныхъ дома: одинъ городничаго, вышедшаго назадъ тому десять лѣтъ въ отставку, и благочиннаго Тюленева; остальные дома, за исключеніемъ казенныхъ, всѣ старые, построенные назадъ тому, можетъ быть, сорокъ — шестьдесятъ лѣтъ. Тротуары существуютъ только около зданія присутственныхъ мѣстъ,—зданія, имѣющаго въ себѣ, за исключеніемъ духовнаго правленія и почтовой конторы, всѣ присутственныя мѣста, въ томъ числѣ и тюрьму, называемую попросту острогомъ. Фонарей и извозчиковъ не имѣется, нѣтъ также ни одного бульвара или мѣста для гулянья, кромѣ кладбища да лѣса, котораго очень много около горъ и дальше за городомъ, между горами; нѣтъ фотографіи, типографіи, театра, даже нѣтъ ни одного фортепьяно или рояля, и аристократія увеселяетъ себя органомъ городничаго и шарманкой земскаго исправника. Всѣ необходимыя вещи для живота и наружнаго украшенія получаются: первыя разъ въ недѣлю, именно въ понедѣльникъ, а послѣднія—каждый день или разъ въ мѣсяцъ на *Здвиженской* площади и въ *гостинномъ дворѣ*, состоящемъ изъ деревяннаго амбара съ двѣнадцатью лавками съ двухъ боковъ, изъ которыхъ торгуютъ только въ пяти, а въ послѣднихъ, говорятъ, торговать нельзя, потому будто, что эти лавки устроились не на *пригожемъ мѣстѣ*. Самая мѣстность города, до того говорятъ, непривлекательна, что городъ надо бы построить не внизу, а на которой-нибудь горѣ, потому, говорятъ горожане, что весной и осенью грязь бѣдовая, «вода непроходимая и такая-то непріятность происходитъ по ночамъ отъ воровъ и разныхъ ссыльныхъ, что ужасти»... Ужъ если говорятъ такъ старые жители, никуда невыѣзжающіе изъ города, то должно быть Столешинскъ незавидный городъ. Говорятъ, что кто-то изъ купцовъ хотѣлъ перевести городъ на другое мѣсто, именно на одну изъ горъ, да жители не согласились: побранили того, кто первый выдумалъ строиться тутъ, посудили, что эти домишки денегъ стоятъ, а тамъ опять стройся, да и камешекъ на одномъ мѣстѣ обростаетъ, такъ и бросили вопросъ о перенесеніи города на другое мѣсто и объ улучшеніи этого города, рѣшивъ, что ладно и такъ; жили же люди до насъ и мы прожили много лѣтъ... Ничего!

Столешинскіе жители люди бѣдные, а бѣдные люди только при большихъ деньгахъ, полученныхъ неожиданно, разбираютъ вкусы и проявляютъ барскія замашки. Столешинскъ отъ губернскаго города въ 300 верстъ., и отъ него до губернскаго города идетъ одна дорога, лѣтомъ грязная и до того трясучая, что каждый проѣзжій проклинаетъ ее не одинъ разъ, а зимой по ней ѣздятъ гусемъ и вываливаются въ ухабахъ отъ станціи до станціи разъ по пяти. Эту дорогу поправляютъ крестьяне только тогда, когда губернатору вздумается проѣхать въ Столешинскъ для своего удовольствія. Торговля тутъ очень плохая. Мука привозится только зимой, потому что ее приплавляютъ лѣтомъ въ губернскій городъ изъ другихъ смежныхъ губерній, и потому мука дорога; спросу на работы мало; сбыту различныхъ матеріаловъ еще меньше. Городъ населяютъ двѣ тысячи мужчинъ и женщинъ. Мужчины—народъ почти весь занятой; женщины, которыхъ больше мужчинъ, или — народъ работящій на мужчинъ и на разныя семейства, или—народъ праздный. Въ число этихъ классовъ дѣти до восьмилѣтняго возраста не входятъ. Мужчины состоятъ изъ чиновниковъ, служащихъ въ разныхъ

присутственныхъ мѣстахъ, отставныхъ и подсудимыхъ, купцовъ, мѣщанъ, изъ которыхъ тринадцать человѣкъ портные и сапожники, четырнадцати крестьянъ, занимающихся постройкой и починкой домовъ, кладкой и перекладкой печей и прочимъ мастерствомъ, инвалидной команды и нищей братіи. Въ число мужчинъ входятъ также и духовные. Всѣхъ духовныхъ въ Столешинкѣ полагается 27 человѣкъ, но ихъ бываетъ только 21. Изъ женщинъ работаютъ мѣщанки и чиновницы на свои семейства и на мужей; прачки, стряпки — большею частію жены солдатъ и крестьянскія вдовы.

Люди въ Столешинскѣ—большею частью получившіе образованіе въ Столешинскѣ. Пріѣзжіе изъ губернскаго города не много ихъ подвигаютъ, потому что они ѣдутъ не для просвѣщенія и прочей пользы, а для денегъ и разныхъ удовольствій; сначала скучаютъ и смѣются надъ городомъ, а потомъ сами привыкаютъ къ Столешинску. Столешинцы только и переняли у пріѣзжихъ и бывалыхъ людей, что научились—и то въ аристократическомъ кругу—говорить свысока, или, проще сказать, говорить на а, напр. *пажалуста*, *сдѣлайте адалженіе*, *пакорнѣйше прашу*, и т. п., и дамы теперь уже щеголяютъ въ преогромныхъ кринолинахъ.

Въ Столешинскѣ для образованія дѣтей существуютъ два училища: духовное и уѣздное (свѣтское), для мальчиковъ. Какой-то судебный слѣдователь предлагалъ было жителямъ открыть училище для дѣвочекъ и проектъ свой представилъ губернатору, да губернатора перевели и перевели также на другое мѣсто судебнаго слѣдователя; жители рѣшили, что образовать дѣтей можно и дома, а по училищному образовывать стоитъ много денегъ. Такъ и бросили толковать о женскомъ училищѣ... При такихъ-то условіяхъ жители умѣютъ попѣть двѣ или три пѣсни, какъ напримѣръ: «Не бѣлы снѣги», «Выйду ль я на рѣченьку», «Среди долины ровныя», поплясать двѣ, три кадрили, поиграть въ карты на разные лады, посплетничать, передразнить кого-нибудь, погоревать и посмѣяться; умѣютъ лицемѣрить и угодить своимъ начальникамъ, но умственность ихняя стоитъ съ двадцатилѣтняго возраста нетронутою. Конечно, они могутъ сочинять отношенія и разныя канцелярскія бумаги, но спросите вы ихъ о предметѣ, касающемся ихъ домашней жизни, они вамъ наговорятъ такую нелѣпость, что вы ихъ дураками назовете. Тамъ только и понимается «Сынъ Отечества», Сѣверная Почта» и «Биржевыя Вѣдомости», которыя читаются на расхватъ, да и то понимаются съ трудомъ, и каждый каждыя новости судитъ, какъ онъ понимаетъ. Надо замѣтить, что эти люди *головоломныхъ* статей не могутъ понять: ихъ только и занимаютъ—политика, разныя новости и разныя происшествія. Статьи по вопросамъ, помѣщаемыя въ этихъ газетахъ, даже въ «Сынѣ Отечества», они не читаютъ. Изъ журналовъ тамъ выписываютъ одинъ экземпляръ «Моднаго Магазина», два—«Иллюстрированной Газеты», три — «Библіотеки для Чтенія» и два—«Отечественныхъ Записокъ». И въ этихъ-то журналахъ они читаютъ только беллетристику, а остальныя статьи остаются неразрѣзанными, да и беллетристику они любятъ не серьезную, а смѣшную. Попадись имъ смѣшной или глупый романъ, или глупая повѣсть, хотя старыхъ лѣтъ, они ее станутъ читать раза по четыре въ годъ. Одни только учителя тамъ люди образованные, но они свѣтскаго училища, а не духовнаго и такъ какъ ихъ немного, то общество ихъ не любитъ, потому что ихъ почему-то назвали вредными людьми, и они завели свой кружокъ. Этихъ учителей тамъ не любитъ даже самъ смотритель, человѣкъ уже старый. Хотѣли они открыть воскресную школу, но имъ не дозволилъ городничій.

Внѣшнюю обстановку Егоръ Иванычъ увидалъ, и ему городъ послѣ губернскаго показался деревней. Присѣвшій къ нимъ съ полдороги учитель уѣзднаго училища, Алексѣй Петровичъ Мазуровъ, разсказалъ то, что мы уже знаемъ. Егору Иванычу до образованія дѣла мало было. У него только одно было въ головѣ—жениться, а тамъ можетъ быть и хорошо будетъ.

Егоръ Иванычъ еще вотъ что узналъ отъ Мазурова.

— А что, Алексѣй Петровичъ, каковъ это господинъ Будринъ?—спросилъ онъ Мазурова.

— Будринъ-то!.. Вы смотрите не позабудьте, что онъ — Будринъ... Кажется, что онъ человѣкъ такъ себѣ. Только я знаю, что онъ деспотъ.

— Не можетъ быть?

— Свою жену и дѣтей онъ бьетъ, какъ мужикъ бьетъ свою лошадь.

— Ну, а дочь какова?

— Дочь ничего. Дѣвушка такая забитая, что, кажется, она сама не рада своей жизни. Впрочемъ, она, поди, замужемъ.

Егора Иваныча дрожь пробрала.— Неужели?—спросилъ онъ.

— Впрочемъ не могу сказать, вышла она или нѣтъ. Видите ли, я отправился изъ города 10 іюля, когда у насъ публичный экзаменъ кончился. Въ это время за нее сватался засѣдатель уѣзднаго суда Удинцовъ. У него отецъ тоже священникомъ въ Крюковѣ. Не знаете ли?

— Нѣтъ.

— Ну, онъ человѣкъ хорошій; кончилъ курсъ въ семинаріи, былъ секретаремъ въ губернскомъ правленіи... Я думаю, что Будринъ отдастъ.

— Ужъ конечно. То засѣдатель, человѣкъ, поди, богатый, а мы что...—сказалъ Иванъ Иванычъ.

— Вотъ этотъ Удинцовъ и сватался... Будринъ было не соглашался, а потомъ, говорятъ, что согласился.

— Экая досада!—сказалъ Иванъ Иванычъ.

— И давно сватался?—спросилъ Егоръ Иванычъ.

— Да въ маѣ мѣсяцѣ еще говорили. Тутъ, видите ли, дѣло не просто: Удинцовъ-то живетъ рядомъ съ домомъ Будрина... Ну, стало быть его проняло и ее проняло.

— Ой? — спросилъ Иванъ Иванычъ, такъ что у него витень выпалъ изъ рукъ.

— Очень понятно. Въ эдакомъ городѣ вы не найдете хорошихъ невѣстъ.

— Что ты?

— Напрасно ѣдете.

— Ей-Богу?

— Видите ли, отецъ дьяконъ, народъ у насъ глупый... право... Но конечно народъ не тронутый.

— Значитъ благочестивый?

— Не то я хочу сказать. Умъ ихъ не тронутъ.

— Ну его къ Богу, съ умомъ-то?.. Была бы невѣста хорошая, — все бы было хорошо... Такъ какъ, Егорушка?

— Плохо, тятенька.

— Дѣла, какъ сажа бѣла. — Старикъ головой покачалъ и запечалился. — Не послать ли намъ сватовъ? — сказалъ онъ, немного погодя.

— А если она замужемъ?

— Тьфу ты, грѣхъ! Совсѣмъ сбился съ панталыку...—Старикъ плюнулъ.—Такъ какъ, Егорушка? Ты вѣдь курсъ кончилъ, придумай. У тебя вѣдь голова-то, поди, не сѣномъ набита.

— Право, не знаю. А вы, Алексѣй Петровичъ, не знаете на примѣтѣ невѣстъ?

— Я всего-то пять мѣсяцевъ живу въ городѣ, здѣсь ни съ кѣмъ не знакомъ, да и не стоитъ знакомиться.

— А вы женаты?

— Я со стряпкой живу.

— Полно? Вы-то? учитель-то? — проговорилъ Иванъ Иванычъ хохоча.

— Что же вы тутъ худого находите, отецъ дьяконъ?

— Тяжкій грѣхъ.

. . . . . .

Они остановились противъ квартиры учителя.

— Я бы васъ, отецъ дьяконъ, къ себѣ пригласилъ, да квартира у меня небольшая, къ тому же сестра съ братомъ и матерью живутъ.

Егоръ Иванычъ подумалъ, не жениться ли ему на сестрѣ учителя.

— А она замужемъ, Алексѣй Петровичъ?— спросилъ онъ учителя.

— Вдова; съ двоими дѣтьми живетъ.

«Ну ужъ не пара», подумалъ Егоръ Иванычъ.

— А ей сколько годочковъ отъ рожденія?—спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Сорокъ шестой. Ничего, женщина добрая.

Послѣ прощаній и разныхъ благодарностей учитель ушелъ въ свой домъ. Поповы остались на улицѣ и поѣхали дальше.

— Гдѣ же мы, тятенька, останемся?

— Ну, гдѣ-нибудь. Ты лучше придумай, какъ невѣсту искать.

— Что же я, тятенька, сдѣлаю!.. Вы вотъ скажите, много ли у васъ денегъ?

— А тебѣ на что?

Егоръ Иванычъ подумалъ, что онъ пожалуй обидѣлъ отца своимъ вопросомъ. Онъ ничего не сказалъ.

— Да денегъ-то маловато, Егорушка. На сѣно да на овесъ будетъ; пожалуй и на квартиру хватитъ.

— Плохо, тятенька. А если мы да назадъ воротимся?

— Не тужи... На Бога надѣйся, все будетъ ладно.

— Не лучше ли намъ, тятенька, на постоялый?..

— Что ты, что ты!.. Намъ-то на постоялый?

— Да что же тутъ худого! Не на улицѣ же намъ жить. Да и сами же вы говорили, что остановимся на постояломъ.

— Глупый ты, Егорушко... Ну, какъ же мнѣ, дьякону, съ мужиками въ кабакѣ быть?.. Скажутъ, пьяница горькая, коли по кабакамъ трется... Да и Господу Богу отвѣтъ дашь.

— А въ селѣ вы развѣ не ходили въ кабакъ?

— И не говори лучше. Осержусь, уйду. А я, знаешь, что придумалъ?—сказалъ онъ весело.

— Что такое?

— А вотъ что: пойдемъ мы прямо вотъ къ этой церкви и спросимъ, кто тамъ дьяконъ, а потомъ узнаемъ, гдѣ его домъ, и пойдемъ туда.

— Это, тятенька, очень смѣшно будетъ.

— Ну, не ври...

— Мы лучше такъ сдѣлаемъ: подъѣдемъ вотъ къ этому дому и спросимъ, нѣтъ ли тамъ квартиры; а если нѣтъ, то тамъ вѣроятно знаютъ, гдѣ есть квартиры.

— Пожалуй.

У воротъ деревяннаго дома, покачнувшагося на лѣвый бокъ, съ тремя окнами, отчасти замазанными бумагой, стоялъ не то мѣщанинъ, не то крестьянинъ. Иванъ Иванычъ подъѣхалъ къ этому дому.

— Здравствуй, дядя!—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Здравствуй,—отвѣчалъ тотъ.

— Вотъ что, дядя, нѣтъ ли у тебя лишней комнаты?

— Нѣту, нѣту; сами живемъ, да чиновникъ одинъ живетъ.

— Нѣтъ ли у кого другого?

— Да, право, не знаю. Оно конешно можно поискать, да надо обождать маленько.

— Гдѣ же ждать-то будемъ? На постоялый идти неловко...

— Оно конешно, што неловко. А вы заведите лошадку-то во дворъ, поживете у меня денекъ, другой, я ужо схожу.

— А есть ли у тебя мѣсто-то? Смотри, чтобы не тѣсно было.

— Ну, день, другой можно. Тамъ, въ горенкѣ, чиновникъ изъ суда съ женой живетъ, тамъ можно.

— Надо его спросить: можно ли еще?

— Чего спрашивать! Домъ-то, подикось, вѣдь мой?.. А я съ васъ по пятиалтынничку возьму за день.

— Возьми десять.

За десять копѣекъ хозяинъ согласился впустить ихъ въ горенку. Въ этомъ домѣ были двѣ комнатки и кухня. Кухню и одну комнатку занимали сами хозяева: отставной солдатъ съ женой, а другую—чиновникъ. Хозяинъ, Поликарпъ Ѳедорычъ, занимается столярнымъ ремесломъ, — онъ и работаетъ въ комнаткѣ днемъ. Отъ его работы стоитъ стукъ, и во всемъ дому постоянно пахнетъ или масломъ, или махоркой.

— Пожалуйте въ мою горенку,—сказалъ Поликарпъ Ѳедорычъ Поповымъ, вводя ихъ въ комнату. Ихъ встрѣтила хозяйка съ ребенкомъ на рукахъ и два бойкихъ мальчика.

— Посидите здѣсь чуточку, я сейчасъ распоряжусь.—И солдатъ ушелъ.

— Вы изъ какихъ мѣстъ, батюшка?—спросила Егора Иваныча хозяйка.

— Изъ Ивановскаго села, Петровскаго уѣзда.

— Далеконько. Къ роднѣ, чай, пріѣхали?

— Нѣтъ, по дѣламъ разнымъ, хозяюшка. Меня сюда назначили во священники, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Слышала давиче... Такъ-тось! А мы къ Знаменской церкви принадлежимъ. О. Василій такой, Богъ съ нимъ, привередникъ.

— А что?

— Да какъ же... Гордъ больно, ужъ такъ-то ли важенъ, спаси Богъ!

Между тѣмъ хозяинъ ругается со своимъ постояльцемъ.

— А коли такъ,—долой съ моей квартиры!

— Ну, и уйду! Экъ выдумалъ: жена скоро родитъ: я плачу полтора рубля, а онъ еще жильцовъ въ мою комнату хочетъ пустить!

— Тебѣ говорятъ, я хозяинъ-то, а не ты. Сичасъ вонъ!

— И уйду!

— Экой гадъ! Два съ половиной мѣсяца живетъ всего-то, а за кватеру заплатилъ только за одинъ мѣсяцъ. «Я, говоритъ, жалованья получаю три рубля»... Мука просто съ этими жильцами!

— Вы, хозяинъ, не безпокойтесь пожалуйста: мы въ другомъ мѣстѣ поищемъ квартиры, — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ужъ вы не сомлѣвайтесь, я вамъ сама поищу квартиру-то; а теперь вы и въ эвтой комнатѣ поживите день-другой.

Поповы расположились въ мастерской солдата.

— А у васъ, о. дьяконъ, есть билетъ?—спросилъ хозяинъ.

— На что?

— Безъ билетовъ мы никого не держимъ, потому, значитъ, начальство строго, а люди-то всякіе бываютъ. Вотъ недавно какого-то бѣглаго монаха поймали, все съ книжкой ходилъ да деньги сбиралъ.

Иванъ Иванычъ струсилъ. Онъ свои бумаги въ селѣ оставилъ.

— Да у меня бумаги-то въ селѣ... Позабылъ, Поликарпъ Ѳедорычъ.

— А безъ паспорта я васъ держать на стану.

Егоръ Иванычъ подалъ хозяину свои бумаги.

— Ужъ я ихъ къ себѣ возьму,—сказалъ хозяинъ, посмотрѣвъ бумаги.

— Зачѣмъ?

— Ужъ такъ у насъ въ обычаѣ.

— Да они мнѣ нужны всегда.

Дѣло уладилось за водкой, которую купилъ Иванъ Иванычъ и которою угостилъ хозяина съ женой. За ужиномъ говорили про дѣло.

— А кто здѣсь благочинный?

— Богъ его знаетъ. Говорятъ, самый старшій здѣсь протопопъ Антонъ въ Преображенскомъ соборѣ.

— Что онъ, женатъ?

— Женатъ. Говорятъ, дѣтки есть.

— А дочери есть?

— Есть и дочери. Старшей годовъ семнадцать будетъ, а младшей годковъ восемь. Старшая-то модница такая,—ужасъ!

— Вотъ, Егорушко, и невѣста. Махни-ко!

— Да какъ подступиться-то?

— То-то вотъ и есть. Протопопъ, да еще и благочинный... А мы вотъ что сдѣлаемъ: пойдемъ завтра въ этотъ соборъ и распросимъ хорошенько, какъ и что.

— Это будетъ всего лучше,—сказалъ хозяинъ.

Когда Поповы легли спать, они долго разсуждали о своемъ дѣлѣ.

— Плоховато, Егорушко. Надо бы намъ, Егорушко, гдѣ-нибудь поближе сыскать невѣсту-то! А то заѣхали... ишь ты, куда заѣхали, и уѣхать-то назадъ не съ чѣмъ будетъ.

— Мы попробуемъ у протопопа посвататься.

— Легко посвататься-то? Наткость, протопопъ, да еще благочинный... такъ и отдастъ! Знаю я этихъ благочинныхъ-то. А впрочемъ, Егорушко, не тужи, авось обладимъ.

— Скверно, что у меня сюртукъ-то худой.

— Ничего. Скверно, что у меня вотъ денегъ-то маловато!.. Петру дьякону написать,—не пришлетъ, скажетъ: нужно на пято-десято самому. Лошадь продать жалко.

— Я думаю, тятенька, если мнѣ не посчастливится жениться, я въ губернскій поѣду.

— Зачѣмъ?

— Буду проситься къ академію на казенный счетъ.

— Не тужи, Егорушко: все перемелется—мука будетъ. Ужъ куда тебѣ въ твои годы учиться?

— И въ тридцать лѣтъ люди учатся.

— Ну ужъ, не ѣзди... Поживи со мной; утѣшь меня, старика... А ты вотъ что сдѣлай: поди завтра къ благочиннону...

— Что я буду дѣлать у него?

— Покажи ему указъ. На то онъ и данъ, чтобы тебѣ поскорѣе жениться, на комъ хошь. А жалко, Егорушко, что Будрина-то дочка замужъ вышла... Поди, хозяинъ-то вретъ, что онъ нехорошій человѣкъ.

— Завтра мы все узнаемъ.

Утромъ рано ихъ разбудилъ хозяинъ своей стукотней. Напившись чаю, они пошли по городу. На встрѣчу имъ попался дьячекъ. Дьячекъ снялъ шапку.

— Зачѣмъ изволили пріѣхать, о. дьяконъ?

— По дѣламъ.

— По невѣсту пріѣхали?

— А вы какъ знаете?

— Помилуйте, весь городъ знаетъ, что вы пріѣхали съ сыномъ и женить сына. Мы уже знаемъ, что вы назначены священникомъ въ Знаменскую церковь,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Егору Иванычу.—Зайдите ко мнѣ на минуточку.

Поповы пошли.

— Вы какой церкви?

— Преображенскаго собора.

— Стихарь имѣете?

— Точно такъ. А у насъ, я вамъ скажу, у отца благочиннаго есть дочка, Надежда Антоновна. Посватайтесь-ко.

— Онъ, поди, ждетъ изъ академистовъ.

— Ну ужъ, въ эдакую-то даль академисты не поѣдутъ.

Дьячекъ накормилъ ихъ говяжьими пирожками и посовѣтовалъ сходить Егору Иванычу къ о. Антону.

Они отправились по церквамъ. Дорогой дьячекъ разсказывалъ Поповымъ, что о. Антонъ сначала былъ дьякономъ въ губернскомъ городѣ, потомъ его сдѣлали священникомъ въ Столешинскѣ, гдѣ онъ прослужилъ пятнадцать лѣтъ въ соборѣ, и такъ какъ былъ учителемъ въ духовномъ уѣздномъ училищѣ, то его за стараніе къ воспитанію дѣтей и по засвидѣтельствованію начальства о безпорочной службѣ произвели въ протопопы и назначили благочиннымъ въ соборъ. О. Антону осталось служить до отставки только годъ, и онъ имѣетъ въ городѣ каменный двухъ-этажный домъ. Должность его такая: онъ завѣдуетъ всѣми церквами города и уѣзда, состоитъ смотрителемъ духовнаго уѣзднаго училища и миссіонеромъ по дѣламъ раскольниковъ, и поэтому его боятся какъ старшіе, такъ и дѣти мужского пола. Служитъ онъ въ церкви сколько ему угодно, дѣлами занимается такъ же, въ училище, помѣщенное въ его же домѣ, ходитъ каждый день и каждый день дѣлаетъ тамъ расправу посредствомъ розогъ. Говорятъ, что въ престольные праздники онъ сказываетъ проповѣди, но проповѣди эти идутъ одного и того же содержанія вотъ уже десять лѣтъ. Если придется сказывать проповѣдь при владыкѣ, то онъ проситъ сочинить своего зятя, священника Благовѣщенской церкви. Въ Знаменской церкви полагается два священника, одинъ дьяконъ, дьячекъ и пономарь. Приходъ этой церкви небольшой, хотя къ ней приписаны три деревни съ однимъ селомъ, въ которыхъ церковь еще пока строится; жалованье небольшое, и то выдается по третямъ. Казенныхъ квартиръ ни для одного церковно-служителя въ Столешинскѣ нѣтъ. Поповы узнали также, что невѣсты есть еще у одного столешинскаго священника, одного дьякона и двухъ дьячковъ. Стало быть, горевать не о чемъ.

— Такъ-такъ-тось, Егорушко!—сказалъ весело Иванъ Иванычъ сыну. — Невѣстъ много, хоть любую бери.

— Все это хорошо. Надо еще смотръ имъ сдѣлать, да стороной узнать, каковы онѣ.

— Всѣ онѣ, кажется, ничего. Можно... Только у о. Петра дочка немного рябовата. Да это что!..

Дьячекъ привелъ ихъ опять въ свой домъ и купилъ водки. Къ нему пришелъ соборный дьяконъ о. Андрей Соловьевъ. О. Андрей былъ еще молодой дьяконъ, получившій мѣсто назадъ тому полгода, человѣкъ веселый и очень безпокойный въ пьяномъ состояніи. За буйство его два раза исключали изъ архіерейскихъ пѣвчихъ и только за хорошій голосъ и большія способности его сдѣлали сперва дьячкомъ въ каѳедральномъ соборѣ, а потомъ и дьякономъ въ Столешинскѣ. Онъ былъ знакомъ Егору Иванычу. Явилась водка; началось угощенье.

— Ужъ я, Егоръ Иванычъ, такъ-то покучу на свадьбѣ,—любо! А апостолъ такъ отчитаю, что рамы будутъ трещать, или такъ, чтобы вѣнцы у васъ попадали съ головъ.

— Зачѣмъ вѣнцы?.. Если вѣнцы спадутъ—плохо,—замѣтилъ Иванъ Иванычъ.

— Вѣрьте вы имъ! — сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Да какъ же! — ершится Иванъ Иванычъ:— ужъ такая примѣта давно у насъ. Каждый ребенокъ знаетъ, что если вѣнецъ упадетъ, то этотъ человѣкъ прежде умретъ обручающагося съ нимъ.

— Охъ вы, старые люди! Знаешь ли, дядька, куда тебя надо?.. Ну, да не скажу.

Этотъ дьяконъ, о. Андрей Филимонычъ, пригласилъ къ себѣ Поповыхъ, угостилъ ихъ тамъ и далъ одну комнату для жительства ихъ. Они уговорились такъ, что за квартиру Поповы платить не станутъ, а будутъ платить только за хлѣбы и то или послѣ свадьбы, или тогда, когда Егоръ Иванычъ будетъ священникомъ.

На другой день Егоръ Иванычъ, вымывшись утромъ въ банѣ, отправился къ о. Антону Иванычу Тюленеву. Протопопъ помѣщается во второмъ этажѣ. Въ прихожей Егора Иваныча принялъ пономарь, исправляющій должность лакея и подчасъ кучера самого Тюленева и его семейства. Комнаты чисто барскія: изъ нихъ пахнетъ мускусомъ.

Егоръ Иванычъ прождалъ часа два до тѣхъ поръ, пока не услыхалъ изъ боковой комнаты охриплый голосъ: «Егоръ!»

Пономарь было вздремнулъ, а при этомъ возгласѣ онъ очнулся.

— Скажите обо мнѣ,—сказалъ Егоръ Иванычъ.

— Ладно. Только онъ сегодня сердитъ...—Пономарь ушелъ.

Черезъ полчаса вышелъ изъ залы въ прихожую самъ протопопъ, въ шелковомъ подрясникѣ и въ туфляхъ. Онъ уже сѣдъ и видно, что очень гордъ и важенъ. Егоръ Иванычъ подошелъ подъ благословеніе.

Они вошли въ кабинетъ. Кабинетъ убранъ тоже на барскій манеръ. Тутъ была бронза, серебро, фарфоръ, вещи подъ чехломъ, шкафы съ бумагами и книгами. Протопопъ сѣлъ.

— Я слышалъ, вы назначены сюда во священники?

— Точно такъ-съ.

— Очень радъ. Егоръ! принеси чаю. Да-съ... садитесь.

Молчаніе. Протопопъ зѣвнулъ. Егоръ Иванычъ стоитъ.

— Давно кончили курсъ?

— Нынѣшнее лѣто.

— Скоренько-таки изволили получить мѣсто.

Егоръ Иванычъ показалъ ему свои бумаги.

— Хорошо. Владыко будетъ здѣсь?... Что же вы не садитесь?

Егоръ Иванычъ сѣлъ.

— Нѣтъ. Преосвященный на будущій годъ собирается сюда.

— А отецъ ректоръ?

— Нѣтъ.

— Вы учителемъ можете быть?

— Могу.

— Мнѣ нужно учителя ариѳметики. Сдѣлайте такое одолженіе.

— Очень хорошо-съ.

Молчаніе.

— Ну-съ... Да когда вы будете посвящаться?

— Его в-о сказалъ мнѣ и на прощеніи написалъ, чтобы меня посвятить въ октябрѣ.

— Какъ поздно! Отецъ Василій Будринъ просто смучился. У него очень много занятій; онъ законоучителемъ въ свѣтскомъ училищѣ.

— Я слыхалъ, что тамъ, ваше высокоблагословеніе, классы бываютъ только два раза въ недѣлю.

— Все-таки... Да, одному очень трудно. Вотъ тоже въ той церкви и дьяконъ захворалъ. А дьяконъ такой примѣрный, трезвый, услужливый. А это самое главное... Да-съ.

Молчаніе. Принесли чай.

— Кушайте.

— Ваше в-е, купецъ Татариновъ пришелъ,— сказалъ пономарь,—да какой-то дьячокъ.

— Это чистая бѣда быть благочиннымъ. Свѣтскіе говорятъ, что благочиннымъ дѣлать нечего, и что мы напрасно только жалованье получаемъ. А и не знаютъ того, что сверхъ главной обязанности быть священникомъ у меня такъ много другихъ тому подобныхъ обязанностей, какъ напримѣръ, быть благочиннымъ, т. е. управлять округомъ. А вы еще не знаете, каково возиться съ духовенствомъ... Тоже вотъ теперь смотрительская должность... Это каторга съ ребятишками. А тутъ еще миссіонерство возложили: обращать и всячески стараться о просвѣщеніи раскольниковъ... Владыко такой, право, что я не могу придумать, какъ бы освободить себя отъ всѣхъ этихъ обязанностей. Видитъ, что и хорошій я старый человѣкъ... ну и... Однако я пойду. Вы посидите немножко.

— Экъ онъ размазываетъ... Миссіонерство, говоритъ, надоѣло... А самъ домъ каменный состроилъ... Ишь, какое богатство!

Егоръ Иванычъ сталъ смотрѣть въ залъ. Но такъ какъ онъ былъ близорукъ и безъ очковъ, то ничего тамъ не видалъ, а слышалъ только разговоры. Хотѣлось ему, по привычкѣ, подслушивать, подойти къ двери, да онъ боялся. Подслушиванье онъ считаетъ подлостью.

— Я это безобразіе выведу изъ васъ. Я приберу васъ къ рукамъ!..—кричалъ благочинный.

— Отецъ благочинный, я не виноватъ! я былъ выпивши,—говорилъ кто-то тоненькимъ голосомъ.

— Пьянствуете только вы. Убирайтесь, мнѣ некогда.

— Ваше в-іе...

Егоръ Иванычъ услыхалъ грохотъ. «Ну, подумалъ онъ: виновный вѣрно въ ноги кланяется».

— Ваше в-іе, у меня семейство большое... Вы знаете, я всегда былъ честнымъ...

. . . . . .

Стоящій или сидящій въ залѣ купецъ въ это время всталъ противъ отпертыхъ дверей въ кабинетъ благочиннаго. Онъ былъ не то красенъ, не то желтъ, и почесывалъ свою бороду. Благочинный подошелъ къ нему.

— Ну-съ, г. старовѣръ, что скажете?

— Вы обо мнѣ напрасно пишете въ консисторію, что я не обращаюсь въ православіе, тѣмъ болѣе, что нынѣ, какъ я вычиталъ въ газетѣ, насъ болѣе не преслѣдуютъ.

Благочинный увелъ купца въ другую комнату. Оттуда слышалось только:

— Я не боюсь васъ... Каждый человѣкъ, г. благочинный, долженъ дѣлать свободно, что хочетъ.

Вышли. Купецъ ушелъ, а благочинный пошелъ въ кабинетъ и сѣлъ на кресло, тяжело отдуваясь.

— Охъ, какъ усталъ! Просто мука съ этими людьми. Слышали, какіе они буяны?

— Очень плохо слышалъ.

— Мученье. Нѣтъ, надо будетъ серьезно приняться за нихъ, надо будетъ объѣхать ихъ всѣхъ. Ну, а этотъ раскольникъ—это звѣрь, дуракъ чистѣйшій, а говоритъ—такъ собаку съѣлъ.

Егоръ Иванычъ хотѣлъ сказать, что раскольники люди не глупые и терпятъ напраслину, но могъ ли онъ сказать это благочинному, у котораго онъ искалъ защиты? Онъ хотѣлъ идти, но ему хотѣлось попросить объ невѣстѣ.

— Егоръ!.. Егорка!.. Это онъ, шельма, вѣроятно съ дьячками да дьяконами возится... Надо его будетъ назначить въ звонари. Сходите, пожалуйста, туда,—и благочинный указалъ Егору Иванычу рукой на уголъ.

Егоръ и Егоръ Иванычъ вошли въ кабинетъ.

— Сходи на почту. На!—И благочинный далъ Егору записку, на которой было написано: «возвратить пакеты за №№ 312 и 313 въ консисторію».

— Вашъ отецъ—дьяконъ?

— Точно такъ.

— Отчего же вы въ академію не ѣдете? Вы бы прямо изъ академіи въ благочинные вышли, а то эдакъ очень долго ждать вамъ благочинія. Въ другомъ мѣстѣ вы при иныхъ условіяхъ получите, какъ это впрочемъ будетъ зависѣть отъ владыки. Здѣсь я благочиніе предоставлю своему зятю.

— Я, отецъ благочинный, теперь никакъ не могу продолжать учиться, потому что у меня отецъ очень старъ и очень бѣденъ... братъ мой въ бѣдномъ мѣстѣ дьякономъ.

— Ну, это ничего. Вы хорошее дѣло сдѣлали, что не поѣхали. Нынче академисты народъ глупый стали, больно важны. Вонъ мой зять, кандидатъ академіи, сначала обошелся со мной такъ вѣжливо, а теперь и знать меня не хочетъ. Все училище въ руки взялъ, почти всѣхъ учителей я черезъ него перемѣнилъ. Они, говорятъ, больно стары и ничего не смыслятъ, хотя все народъ молодой были.

— Стало быть онъ правъ. Онъ больше ихъ знаетъ да и въ семинаріяхъ теперь обучаютъ не по-старому.

Егоръ Иванычъ началъ размазывать семинаріи, что онѣ и учителя тамошніе всѣ хорошіе люди, для того, чтобы показать, что онъ неглупый человѣкъ—даже похвастался своею проповѣдью. Онъ

сначала подивился, что благочинный принялъ его очень вѣжливо и разговариваетъ какъ съ пріятелемъ. Онъ даже подумалъ, вѣроятно у благочиннаго много грѣховъ лежитъ въ консисторіи и архіерейской канцеляріи. «Постой же, я пугну тебя. И мы тоже любимъ похвастаться. Здѣсь нельзя не сподличать»...

— Нынче у насъ отецъ-ректоръ—славный человѣкъ въ отношеніи семинаріи, не то, что прежде, и человѣкъ очень строгій.

— Да, да. Слышалъ въ прошломъ годѣ въ городѣ.

— Онъ мнѣ самъ предложилъ сюда, а потомъ хотѣлъ выхлопотать, чтобы меня перевели въ каѳедральный соборъ. Когда же я буду посвященъ, онъ обѣщалъ мнѣ дать дипломъ на званіе учителя. Онъ даже совѣтывалъ мнѣ открыть воскресную школу и хотѣлъ написать вамъ объ этомъ предметѣ.

— Ну, вы съ воскресными школами пропадете.

— Нѣтъ, отецъ благочинный. Этой безплатной школой...

— Какъ безплатной?

— Въ воскресныхъ школахъ обучаютъ даромъ безъ различія и дѣтей, и взрослыхъ, преимущественно крестьянъ.

— Поговаривали у насъ объ этомъ, да будетъ-то это безполезно.

Вошла жена благочиннаго, толстая, высокая старая женщина, расфранченная какъ попадья или какъ купчиха. Егоръ Иванычъ поклонился ей. Та слегка поклонилась.

— Благочинный, иди обѣдать, — сказала она мужу.

— Ладно. Надя встала?

— Одѣвается.

— Экъ ее, нѣжится. А Сашка и Васька, поди, на улицѣ?

— Нѣтъ, въ саду.

— Вѣдь я же звалъ сюда Ваську... Гдѣ письмоводитель?

— Онъ пошелъ купить Надѣ табаку.

— Вѣчно у нихъ амуры. Я эту дрянь прогоню, коли замѣчу что-нибудь. Смотри ты у меня, смотри въ оба... ни за чѣмъ не хочетъ приглядѣть... Ну, что за табакъ дѣвкѣ!

— Да вѣдь ты куришь, благочинный!

— Молчать!

Егоръ Иванычъ пошелъ къ двери и поклонился благочинному.

— Прощайте. Приходите ко мнѣ завтра. Я васъ испытаю, можете ли вы быть учителемъ моему сыну и вообще въ училищѣ. А какъ васъ зовутъ?

— Егоръ Иванычъ.

— Хорошо.

— Это кто? — спросила безъ церемоніи жена благочиннаго.

— Не твое дѣло. Пошла!

Егоръ Иванычъ ушелъ.

«Вотъ дубина-то!—подумалъ онъ.—Это просто чортъ знаетъ, кто... Ахъ, я и забылъ попросить его дозволить мнѣ сказать здѣсь проповѣдь. Силъ не пожалѣю, чтобы понравилась. Впрочемъ я покажу ему ту, которую въ губернскомъ сказывалъ. А гадко я сказывалъ, здѣсь лучше скажу».

Иванъ Иванычъ былъ въ восторгѣ отъ разсказовъ Егора Иваныча и обѣщался отслужить заздравный молебенъ, когда только онъ женится на протопоповой дочери.

— Ты у меня, Егорушка, умъ!... сила!...

Андрей Филимонычъ передразнивалъ благочиннаго, какъ онъ ходитъ, говоритъ, кланяется, ругается, ѣстъ и пьетъ, передразнивалъ также и жену его. Всѣ до слезъ хохотали.

— Да полно, Андрюшка!—унимала его жена.

— А я тебя по лбу! — и дьяконъ ударилъ ее по лбу кулакомъ.

— У, дуракъ, больно!...

— А тебѣ не довольно? Я тебѣ покажу, какъ благочинный Егорку бьетъ.

— Перестань!

— Выйди на ростань! Ахъ, Егоръ Иванычъ, какъ я вамъ разскажу, что мы выкидывали на нашей свадьбѣ, не такъ еще рты-то разините, не такъ еще свои зубищи выпучите. Уже мы очень больно веселились. Какъ утромъ въ баню шли, такъ на ухваты платки надѣвали, — свахи шли съ ухватами впереди и вся компанія насъ то водой обливала, то сажей мазали щеки... Пѣсни какъ задирали!.. Здѣсь бы такъ за срамъ сочли, а тамъ всегда такъ.

Веселая компанія рушилась съ приходомъ дьячка, который сказалъ, что требуетъ отецъ Василій свадьбу вѣнчать.

Егоръ Иванычъ пошелъ съ дьяконицей смотрѣть свадьбу, а Иванъ Иванычъ пошелъ разыскивать, не играетъ ли кто въ шашки. Такъ какъ играющихъ на дорогѣ не оказалось, то онъ тоже поплелся въ церковь, думая: ужъ теперь я до тѣхъ поръ не пойду смотрѣть свадьбы, когда мой Егорушко не станетъ вѣнчать. Ужъ я тогда рядышкомъ съ нимъ стану: коли ошибится, подскажу. Поди, у бѣдненькаго руки будутъ дрожать.

Въ церкви на Егорушку всѣ смотрѣли, какъ на пріѣзжаго; одни показывали на него пальцами и спрашивали: кто онъ? а другіе говорили, что онъ пріѣхалъ свататься за дочь благочиннаго, и говорили такія вещи, что Егора Иваныча коробило.

Послѣ вѣнчанья дьяконъ съ Иваномъ Иванычемъ ушли на свадебный пиръ. Напились чаю. Дьяконица стала починивать подрясникъ мужа, а Егоръ Иванычъ сталъ читать «Отечественныя Записки» прошлаго года. Онъ скоро положилъ книгу.

— Какая дрянь!—сказалъ онъ.

— Что?

— Да напечатано въ этой книгѣ все ложь. Дѣйствительной жизни нѣтъ.

— Полноте, тутъ хорошая повѣсть есть, смѣшная такая.

— А вы что читаете?

— Я повѣсти читаю, а дьяконъ критику любитъ. Когда мы лягемъ съ нимъ спать, покою нѣтъ отъ него: лежитъ и читаетъ вслухъ; я спать хочу, а онъ какъ щипнетъ въ бокъ, просто до слезъ пройметъ. Слушай, говоритъ, учись, пока я живъ.

— Я замѣчаю, отецъ дьяконъ, кажется, любитъ васъ.

Дьяконица покраснѣла.

— А подъ-часъ такое слово загнетъ, что хоть вонъ бѣги... Онномедни пришелъ пьяный-препьяный, и оретъ во всю ивановскую: «близко не подходи, изобью!» Я было хотѣла скрутить его, да онъ такую затрещину далъ въ эту щеку, что и свѣту божьяго не взвидѣла. Ужъ такъ-то мнѣ было обидно!... плакала, плакала я, а на другой день корила, корила его!.. Въ ногахъ вывалялся...

— Если хотите, Егоръ Иванычъ, я вамъ сосватаю невѣсту.

— Какую?

— Дочь нашего соборнаго дьякона Алексѣя Борисова Коровина, Лизавету. Ей въ сентябрѣ восьмнадцатый будетъ. Я ее знаю, она моя подруга. Дѣвушка хорошая.

— Красивая?

— Ну, нельзя сказать, чтобы красивая, а только рукодѣльница, смирная.

— Что же она такъ долго не замужемъ?

— Какъ долго? Ей вѣдь теперь семнадцатый, а въ одинъ годъ не скоро найдешь жениховъ, да Алексѣй-то Борисычъ подъ судъ попался, поэтому хорошіе женихи обѣгаютъ ее.

— За что онъ попался?

— Знаете ли, онъ любитъ выпивать... за то у него голосъ огромный, у моего дьякона хуже голосъ, вѣрно отъ того, что онъ еще молодъ. А жалко! добрый какой; главное, голосъ у него здоровый: какъ рявкнетъ, окна звенятъ! Архіерей хотѣлъ-было его къ себѣ въ протодьяконы взять, да вотъ какъ эта бѣда вышла, ну, его и отставили. Теперь мой мужъ сталъ старшимъ, а онъ служитъ рѣдко, все пьетъ.

— Онъ богатъ?

— Какое богатство! Вотъ ужъ полгода, какъ ничего не получаетъ, ну, а прежде все пилъ. Можетъ быть, у него и есть деньги, да только едва ли. Лиза говоритъ, что мать ея, Дарья Ивановна, берегетъ деньги отъ мужа. Право, соглашайтесь. Лиза славная дѣвушка. Что вамъ въ протопоповой дочери? правда, она красивая и разговорами собаку съѣла, только вамъ не пара. Она слишкомъ горда. Съ нами не говоритъ, а поклонишься ей, носъ на сторону воротитъ. Да едва ли и отецъ протопопъ отдастъ за васъ.

— Я думаю тутъ попытаться у отца-протопопа.

— Какъ знаете, дѣло не мое... Только я бы не совѣтовала вамъ. Лучше взять бѣдную, да хорошую жену, а не модницу какую-нибудь.

Егоръ Иванычъ спалъ на сараѣ. Пробудившись утромъ, онъ услышалъ разговоры отца съ дьякономъ. Дьяконъ басилъ и крякалъ; Ивана Иваныча едва слышно.

— Такъ-то-съ, Иванъ Иванычъ!

— То-то. А голова болитъ, надо бы опохмѣлиться.

— А чортъ ихъ дери! Опохмѣлиться надо, встать только лѣнь.

— И мнѣ тоже.

— А мы-таки дерябнули!

— Залихватски!

— Такъ ты какъ думаешь насчетъ Коровина?

— Думаю, можно. Надо бы сегодня...

— Скорѣй лучше. Знаешь, что я сдѣлаю?.. Пойдемъ сегодня сами безъ него къ Коровину: если онъ пьянъ — разбудимъ, не пьянъ — къ себѣ приведемъ.

— Ладно. Да у тебя, братъ, денегъ нѣтъ.

— Ну! Эка бѣда!.. Намъ бы не повѣрили въ долгъ?.. Повѣрятъ!

— Да, трудно жить на свѣтѣ... Только я смекаю, ловко ли будетъ у Коровина-то высватать?

— Ужъ не безпокойся. Я самъ хотѣлъ свататься, да отецъ посовѣтовалъ эту взять. И какъ, слышь, вышло: — только что сталъ я свататься, вдругъ указъ изъ консисторіи: переводится-де онъ въ село. Вотъ тѣ и разъ! Ну, перевелся, тамъ я и женился, потому что отъ благороднаго слова неловко отказываться.

— У тебя, братъ, жена славная.

— Да ничего...

— Хозяйка хорошая.

— Это правда. Этимъ меня Богъ не обидѣлъ... А мы пойдемъ выпьемъ?

— Да рано...

— Ну, толкуй! смотри, солнышко-то куда поднялось! Пойдемъ?

— Пойдемъ. Да къ Коровину пойдемъ же?

— Непремѣнно. Тутъ дѣло вѣрное.

— Надо ему сказать, чтобы онъ къ протопопу не ходилъ.

— Нельзя, вѣдь онъ здѣсь будетъ служить. Если Егоръ Иванычъ не пойдетъ сегодня къ нему, то онъ съѣстъ его.

— Все бы подождать не мѣшало: авось протопопъ-то и отдастъ за него свою дочь.

— Ну ужъ!

Дьяконъ ушелъ. Егоръ Иванычъ тоже слѣзъ съ сарая и ушелъ въ домъ. За чаемъ шелъ такой разговоръ:

— Ты, Егорушко, лучше на дочери Коровина женись. Я ужъ это дѣло всякими манерами обдумалъ.

— Мнѣ все равно.

— Оно не все равно. Понравится — женись, не понравится — можно другую найти. А насчетъ отца благочиннаго вы не безпокойтесь: не стоитъ овчинка выдѣлки. Она хотя и нашего поля ягода, но, какъ дочь благочиннаго, такъ заважничалась, что годится развѣ въ жены какому-нибудь благочинному, или свѣтскому человѣку въ родѣ исправника и т. под.

— Я теперь ничего не могу сказать.

— Какъ знаете. А мы все-таки Алексѣя Борисыча приведемъ сюда какъ разъ къ обѣду.

Егоръ Иванычъ подумалъ и пошелъ къ благочинному.

Благочинный былъ уже одѣтъ. На немъ была шелковая ряса голубого цвѣта, камилавка и два креста: одинъ наперсный, а другой въ память 1853—56 годовъ.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ Егору Иванычу.—Мнѣ нужно съѣздить кое-куда по дѣламъ. Пожалуйста, займитесь моимъ Васей. Я часа черезъ

три-четыре буду. Пойдемте.— Благочинный повелъ Егора Иваныча въ комнаты. Прошли двѣ комнаты, убранныя хорошо, съ цвѣтами и съ удушливымъ запахомъ мускуса и резеды. Въ третьей сидѣла дочь благочиннаго, Надежда Антоновна, дѣвица лѣтъ 20, очень румяная, здоровая, разодѣтая въ шелкъ и въ кринолинѣ.

— Пошла прочь! – сказалъ ей отецъ.

— Тамъ, папа, очень душно.

— Вѣчно ты у окна торчишь! Пошла, тебѣ говорятъ!

Дочь ушла. Вошли въ четвертую комнату. Тамъ играли дѣти. Мальчикъ 12-ти лѣтъ возилъ по комнатѣ съ мальчикомъ 5-ти лѣтъ деревяннаго коня, дѣвушка 13-ти лѣтъ сажала на коня куклу.

— Пошли прочь! Я васъ, гадины! —Дѣти присмирѣли.

— Вамъ говорятъ? Вася, останься.—Дѣти ушли.

— Вотъ тебѣ новый учитель... Смотри, слушайся его. А вы, если онъ будетъ шалить, такъ на колѣни и ставьте, и пусть онъ, негодяй, до моего прихода на колѣняхъ стоитъ. —Благочинный ушелъ, и вскорѣ вернувшись, взглянулъ въ щелку дверей и ушелъ назадъ.

Егору Иванычу неловко сдѣлалось быть учителемъ въ домѣ благочиннаго, и при томъ учителемъ въ первый разъ. Онъ хотѣлъ учить крестьянъ, а не дѣтей подобныхъ родителей. Василій сначала робѣлъ, утирая рукавомъ свой носъ, щипалъ рубашку и пялилъ съ любопытствомъ глаза на новаго учителя, но когда новый учитель заговорилъ съ нимъ, онъ сталъ отвѣчать рѣзко, съ нѣкоторою важностью.

— Вы давно учитесь?—спросилъ его Егоръ Иванычъ.

— А вамъ на что?

— Мнѣ хочется знать потому, чтобы легче было заниматься съ вами.

— Я первую часть грамматики прошелъ.

— Кто съ вами занимался?

— Отецъ Петръ Иванычъ.

— Хорошій человѣкъ?

— Мы въ училищѣ его котомъ прозвали...

— За что?

— А онъ царапается больно. Когти у него на рукахъ острые.

— Прочіе учителя каковы?

— А вы къ намъ въ учителя?

— Я послѣ посвященія, можетъ быть, поступлю.

— А у васъ хорошіе учителя?

— У насъ профессора учатъ. Они сами въ академіи учатся.

— А я въ академію скоро поступлю?

— Надо прежде кончить курсъ въ семинаріи. А когда вы кончите курсъ тамъ, то будете такой же, какъ и я.

— Неправда, неправда! Я нынче поступлю въ академію. А васъ какъ зовутъ?

Егоръ Иванычъ сказалъ.

— А вы учителей любите?

— Нѣтъ.

— Учителей надо любить...

— Неправда, неправда! Они сѣкутъ больно.

— А васъ сѣкли?

— А васъ?

— Меня много разъ сѣкли. Прежде по три раза въ день сѣкли.

— А теперь?

— Теперь не смѣютъ, потому что я кончилъ курсъ.

— Меня-то учителя не смѣютъ сѣчь, да папаша сѣчетъ. Больно сѣчетъ...

Съ часъ Егоръ Иванычъ протолковалъ съ Васей объ ученьи. Онъ понравился мальчику. Они начали урокъ съ ариѳметики, которую Егоръ Иванычъ плохо смыслилъ.

— А у васъ, Василій Антонычъ, большое семейство?

— Большое. Сестра Надя невѣста...

— Чья невѣста?

— Такъ невѣста: она ужъ большая... Папаша ждетъ жениха отъ архіерея. Петя братъ, я да сестра Танька. Сестра Александра замужемъ, за отцомъ Павломъ. Злой такой. А Анна, что всѣхъ старше, та за лекаремъ.

Пришла жена благочиннаго. Поклонившись важно Егору Иванычу, она важно сѣла на диванъ.

— Ну, что у васъ тамъ хорошаго въ губернскомъ?—спросила она Егора Иваныча.

— Ничего, веселѣе здѣшняго.

— Ахъ, какая здѣсь скука проклятая!..

— А вы родомъ отколѣ?

— Я въ губернскомъ родилась. Отецъ у меня протопопомъ былъ. Знали Первушина?

— Слыхалъ. У насъ Первушинъ есть профессоръ.

— Это дядя мой. Ну, а отецъ-ректоръ каковъ?

Пришла дочь Надежда.

— Ты зачѣмъ?

— Мама, одолжите шелку!

— А ты развѣ весь издержала?

— Весь.— Она взглянула на Егора Иваныча; Егоръ Иванычъ на нее глядѣлъ. Она ему понравилась, т. е. ему понравилось ея лицо, платье и голосъ, и не понравилось то, что онъ замѣтилъ въ ней какую-то гордость, и она, вошедши въ комнату, не поклонилась ему.

Жена благочиннаго вышла, за ней вышла и дочь, взглянувъ еще разъ на Егора Иваныча. До прихода благочиннаго ихъ не было видно. Пришелъ благочинный.

— Просто смучился весь... Ну, какъ Вася?

— У него есть способности.

— Да, я это замѣчаю, только онъ баловникъ, каналья.

Стали обѣдать всѣ и къ обѣду пригласили Егора Иваныча. За обѣдомъ говорили о лицахъ губернскаго города. Егоръ Иванычъ робѣлъ, руки тряслись, и онъ говорилъ невпопадъ. Благочинный приглашалъ его выпить рюмку наливки, онъ отказался, говоря, что онъ ничего не пьетъ.

Когда Егоръ Иванычъ сталъ прощаться съ благочиннымъ, то сказалъ ему:

— Я, отецъ благочинный, осмѣливаюсь побез-

покоить васъ: мнѣ нужна невѣста, а я не знаю гдѣ высватать.

— Ужъ не на моей ли дочери вы хочете жениться?—спросилъ тотъ, улыбаясь.

Егору Иванычу стало стыдно. Онъ ничего не могъ отвѣтить.

— Впрочемъ я подумаю.

— Могу я надѣяться?

— Завтра я вамъ скажу отвѣтъ.

«Нужно быть только смѣлымъ, все будетъ хорошо. Ищите и обрящете; толцыте, и отверзется вамъ... Теперь все дѣло обдѣлано», думалъ Егоръ Иванычъ, придя домой.

Надежда Антоновна росла и воспитывалась матерью и отцомъ на барскій манеръ, съ тѣмъ различіемъ, что родители держали ее очень строго. Она не умѣла стряпать, а умѣла шить себѣ платья, вышивать, читать и писать. Читать свѣтское ей запрещалось, и она доставала украдкой книги отъ своей сестры Анны, которая за лекаремъ. Дни ея шли скучно. Ее будили къ обѣднѣ, въ праздники она должна была идти въ церковь, послѣ того должна сѣсть за работу, послѣ обѣда спать или вышивать, или читать книги духовнаго содержанія, обучать брата Петра и сестру Татьяну; вечеромъ, послѣ чаю, опять что-нибудь дѣлать. Гулять въ Столешинскѣ не въ модѣ. Свѣтское общество она видѣла только у сестры Анны, но такъ какъ лекарь женился на Аннѣ съ годъ и уѣхалъ въ другой городъ, то она мало поняла обычаи этого общества, тѣмъ болѣе общества уѣздной аристократіи. Тамъ, и вообще въ гостяхъ, она всегда вела себя какъ богатая невѣста, говорила отрывочно, не умѣла держать себя по-барски, не умѣла танцовать, говорить по-свѣтски, но считала каждую женщину или дѣвушку и каждаго мужчину дрянью. Ей хотя и хотѣлось вырваться изъ дому куда-нибудь, но всегда дѣлалось досадно, что она бываетъ въ этихъ обществахъ. Начитавшись свѣтскихъ книгъ, она сначала плохо вѣрила имъ, потомъ стала бредить о различныхъ герояхъ, а когда бывала въ обществѣ свѣтскихъ людей, она тамъ видѣла все обыкновенныхъ — глупыхъ людей, и ругала это общество и книги.

Ей надоѣла жизнь съ отцомъ, хотѣлось уйти куда-нибудь. Но куда уйдешь? У отца все-таки почетъ. Авось женихъ какой-нибудь посватается. Но какой женихъ? Чиновниковъ она ненавидѣла; военныхъ тоже. Молодыхъ семинаристовъ она видѣла мало. Ей хочется жениха въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ...

Когда Егоръ Иванычъ пришелъ домой, тамъ кутили Иванъ Иванычъ, Андрей Филимонычъ и Алексѣй Борисычъ Коровинъ. Коровинъ былъ толстый, здоровый мужчина, съ оплывшимъ лицомъ, густыми черными волосами и бородой. Онъ говорилъ октавой.

— Здравствуйте, здравствуйте! Что, по невѣсту пріѣхали?—спросилъ его Алексѣй Борисычъ.

— Да.

— Доброе дѣло, доброе дѣло.

Алексѣй Борисычъ выпилъ. Заставили выпить и Егора Иваныча.

— А если хотите, Егоръ Иванычъ, берите мою дочь.

— Надо еще подумать, Алексѣй Борисычъ.

— Думаютъ только одни нѣмцы да индѣйскіе пѣтухи.

— Славно сказано! — сказалъ Иванъ Иванычъ, уже опьянѣвшій.

Вечеромъ компанія отправилась къ Алексѣю Борисычу. Онъ живетъ въ своемъ домѣ, уже старомъ, съ пятью окнами на улицу и съ четырьмя комнатами и кухней. Ихъ встрѣтила жена его, Дарья Ивановна, худенькая, низенькая женщина.

Гости вошли въ комнату. Лизавета, румяная дѣвушка, въ ситцевомъ платьѣ желтаго цвѣта, что-то вышивала у окна. При входѣ гостей въ комнату, она поклонилась имъ. Егоръ Иванычъ тоже поклонился робко. Лицо ея ему очень понравилось.

— Лиза, поставь самоваръ,—сказала ей мать.

Дочь ушла. По какому-то обстоятельству, на ней было надѣто новое платье, которое, какъ она шла, шумѣло. И это понравилось Егору Иванычу. «Она, кажется, славная дѣвушка. Немножко рябовата; да вѣдь и я-то неказистъ», думалъ онъ.

— Какой вы гордый! Нѣтъ, чтобы раньше придти къ намъ, — сказала Дарья Ивановна Егору Иванычу.

— Извините, что не могъ, потому что не былъ знакомъ съ отцомъ дьякономъ.

— А ты, дьяконица, гдѣ давече была?—спросилъ ее Андрей Филимонычъ.

— По грибы ходила. Нынче ужасъ сколько ихъ! Лиза сказала, что вы были и хотѣли придти, — я и принарядилась.

— Зачѣмъ принарядилась-то?

— По вашему, такъ и ходить, какъ въ будни? Вѣдь гости пожалуй ни на есть что скажутъ про меня.

— А ты, Дарья, дай водки,—сказалъ Алексѣй Борисычъ.

— Охъ, ужъ эта мнѣ водка!

— Для гостей, дура! А я только смотрѣть стану. Лиза принесла самоваръ, чайникъ, чашки, сливки, малины и сдобныхъ крендельковъ. Мать велѣла ей принести подносъ, чтобы угощать гостей съ подносу; но Андрей Филимонычъ отговорилъ, сказавъ, что мы сами будемъ брать чашки со стола. Лиза стала разливать чай.

— А ничего, Лизанька невѣста хоть куда!— сказалъ Андрей Филимонычъ.

Лиза закраснѣлась. Она и мать ея знали, зачѣмъ Поповъ пришелъ.

— Я не невѣста,—сказала робко Лиза.

— Какая она еще невѣста!—замѣтила мать.

— Полно вамъ притворяться-то! Вотъ моя жена въ дѣвушкахъ говорила, что она ни за кого замужъ не пойдетъ, а обречетъ себя монашеской жизни, а вышла-таки за меня.

— Да вы человѣкъ славный. Такого жениха не скоро найдешь.

— Полно вамъ лясы-то точить! Выпьемъ,—сказалъ хозяинъ и налилъ три рюмки.

Дарья Ивановна стала разспрашивать Егора Ива-

ныча о разныхъ дьяконахъ и разсказывала про свою родню и несчастье ея мужа.

Егору Иванычу было очень неловко при Лизѣ. Прежде онъ мечталъ только объ дѣвушкѣ, представлялъ ее красивой, смирной, умной, представлялъ такой, какую онъ вычиталъ въ книгѣ и которая ему чѣмъ-нибудь понравилась. Теперь дѣвушка на лицо, и эта дѣвушка отъ одного его слова можетъ быть его женой. Она ему нравится, взглядываетъ на него такъ ласково, никакой гордости незамѣтно, а замѣтно, что ей хочется замужъ. Надо бы поговорить съ ней, но какъ заговорить и что говорить? Протопопская дочь ему не нравилась теперь, и онъ сожалѣлъ, что просилъ протопопа о невѣстѣ. А что если протопопъ согласится выдать свою дочь за него? «Оно конечно лучше: больше почету тогда будетъ; а если жениться на этой, то весь вѣкъ останешься священникомъ, да еще протопопъ пожалуй обидится, напишетъ владыкѣ, и тебя турнутъ въ такое мѣсто, что весь вѣкъ будешь каяться; а я ужъ знаю, каково быть бѣднымъ священникомъ»... Такъ разсуждалъ про себя Егоръ Иванычъ. А Лиза между тѣмъ уже начала вздыхать... Она была рада и не рада, что наконецъ-то ей Богъ послалъ жениха и она будетъ женой городского священника. «Кто его знаетъ, какой онъ?—думала она.—Некрасивъ, да что толку; обростетъ бородой, лучше будетъ... Ужъ скорѣе бы»... Мать и дочь простились съ Егоромъ Иванычемъ очень любезно, и даже сама дочь сказала ему: «ходите къ намъ, Егоръ Иванычъ, почаще».

— Ну, что?—спросилъ дорогой Егора Иваныча Андрей Филимонычъ.

— Ничего.

— Нравится?

— Да, ничего. Надо бы съ ней поговорить наединѣ.

— А мы завтра пошлемъ просвирню къ нимъ.

— Зачѣмъ?

— Свататься и уговариваться о приданомъ.

— Не рано ли!

— Знаете пословицу: куй желѣзо, пока горячо,—чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Лучше черезъ день.

— Ну, какъ знаете.

Отецъ очень обидѣлся тѣмъ, что Егоръ Иванычъ откладываетъ сватовство такъ долго.

— Ты, Егорушко, ужъ больно привередничаешь. Какъ не было ни одной невѣсты, такъ ты говорилъ: гдѣ найду, да какъ женюсь; а какъ есть онѣ, ты и заважничалъ: не хочу, подумаю. Нечего тутъ думать, я тоже не думалъ. А вотъ тебѣ сказъ: чтобы завтра же сваха была послана.

— А если я не хочу?

— Ну такъ и Богъ съ тобой. Я не то и уѣду.

— Вы, тятенька, не сердитесь, а предоставьте это дѣло мнѣ одному.

— А я тебѣ кто: отецъ, или песъ?

— Я васъ люблю, какъ отца, но въ этомъ дѣлѣ прошу не мѣшать.

— Коли ты такъ, я сейчасъ же уѣду.

— Послушайте, тятенька, вѣдь съ женой жить не вамъ, а мнѣ.

— Мнѣ все равно, а я уѣду.

Отецъ сталъ собираться.

— Полно, Иванъ Иванычъ, егозить. Онъ правду говоритъ,—уговаривалъ Ивана Иваныча Андрей Филимонычъ.

— А я хочу, чтобы ты по моему дѣлалъ—и все тутъ!—сердился Иванъ Иванычъ.

— Воля ваша.

— Такъ ты соглашаешься?

— Подождите до завтра. Завтра я схожу къ благочинному и получу отъ него отвѣтъ.

— Посмотримъ, что скажетъ тебѣ благочинный... Поди-кось, дуракъ твой благочинный, поди-кось, онъ такъ и отдастъ за тебя, за голь, свою дочь... Да хотя и отдастъ, такъ мнѣ житья отъ нея не будетъ. Вотъ что!

— Почему вы такъ думаете?

— Почему!.. Не знаютъ будто!.. Ты еще только на свѣтъ-то вырвался, а я ужъ пожилъ, слава тебѣ Господи.

Въ этотъ день благочинный получилъ отъ ректора письмо слѣдующаго содержанія:

«О. благочинный! Во-первыхъ, цѣлую васъ братскою любовію и посылаю вамъ свое благословеніе. Во-вторыхъ, увѣдомляю васъ, что, давши вамъ зимой обѣщаніе послать къ вамъ для вашей дочери Надежды жениха изъ академіи, я, при всемъ моемъ стараніи, не могу утѣшить васъ на этотъ счетъ, такъ какъ у насъ теперь въ городѣ только два академиста, изъ которыхъ одинъ уже женился на дочери протоіерея каѳедральнаго собора, а другой не имѣетъ намѣренія жениться. Поэтому я и рѣшился выбрать изъ кончившихъ курсъ семинаріи отличнаго студента, дьяконскаго сына Егора Попова, выпросилъ для него у преосвященнѣйшаго владыки мѣсто въ вашемъ городѣ и послалъ къ вамъ. Онъ отличный студентъ и можетъ быть хорошимъ мужемъ вашей дочери, которой я посылаю мое благословеніе»...

Благочинный долго думалъ, прочитавши это письмо, отдать ему дочь за Попова, или нѣтъ. Онъ некрасивъ, но, кажется, смирный. Если не выдать, то обидится ректоръ, смѣнитъ съ смотрительской должности. Онъ рѣшилъ выдать; одно только безпокоило его; отецъ у него дьяконъ, куда помѣстить ихъ? Въ домѣ—загрязнятъ все... Онъ не любилъ заштатныхъ дьяконовъ и священниковъ, хотя у самого назадъ тому четыре года умеръ отецъ, заштатный дьяконъ.

— Егорко!

Вошелъ Егорко.

— Позови Марью Алексѣевну.

Пришла жена его, Марья Алексѣевна.

— Какъ ты думаешь, жена: что намъ дѣлать съ Надей?

— Что съ ней дѣлать-то?

— Дура! Вѣдь ее надо замужъ выдать.

— За кого бы ты ее выдалъ? ужъ не за вшивика ли письмоводителя?

— Э, да что съ тобой толковать! У тебя башка вѣчно сѣномъ набита.

— Бога бы ты побоялся такъ издѣваться надо мной... Вѣдь въ прошломъ годѣ сватался

судебный слѣдователь, хорошій и богатый человѣкъ.

— Я самъ знаю, кто лучше... Богатъ онъ, хорошъ—это все дудки. Онъ сватался ради денегъ—вотъ что. А я придумалъ. Вотъ слушай, что пишетъ о. ректоръ.

— Такъ неужели ты за этого пріѣзжаго вшивика хочешь отдать?

— А что бы ты на это сказала?

— Ты посмотри, у него и сапоги-то съ заплатками.

— Не твое дѣло. Ужъ коли самъ о. ректоръ проситъ такъ, такъ ужъ и прекословить его волѣ не стану. А о. ректора владыко любитъ. Знаешь, что я черезъ это выиграю?

— Дѣлай, какъ знаешь. Все бы не мѣшало подождать.

— Нѣтъ ужъ, матушка, ждать я не стану. Ты думаешь, что я ничего не замѣчаю? Я, матушка, вижу ея амуры съ письмоводителемъ. А что, если, Боже упаси, она развратится?.. Понимаешь?

— Понимаю.

— То-то и есть. Что тогда про меня скажутъ?.. Ужъ такая дѣвка взбалмошная родилась: то ей дай, другое дай, въ слезы сейчасъ. А ты думаешь, я старъ, такъ меня такъ и проведешь!—дудки, сорока-то на двое сказала!.. Ономедни она любезничала съ сыномъ отца Александра, да я промолчалъ... Я еще ей не такую поронь задамъ, если она будетъ противиться мнѣ.

— Какъ знаешь, Антонъ Иванычъ.

— Такъ ты согласна?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— Какъ знаешь.

— Я согласенъ. Онъ сегодня просилъ меня объ этомъ.

— И ты согласился?

— Я ничего не сказалъ, потому что ждалъ письма. Мнѣ смѣшно показалось его желаніе, а теперь, какъ получилъ письмо отъ о. ректора, я готовъ уважить о. ректора.

— Дѣлай, какъ знаешь.

— Много ли у Нади платьевъ?

Благочинный взялъ бумажку и карандашъ.

— Шелковыхъ семь, ситцевыхъ восемь.

— Салоповъ?

— Лѣтнихъ три мантильи, домино изъ губернскаго выписано; два зимнихъ: одинъ соболій, другой бѣличій. Четыре шляпки.

— Я думаю, больше ей не надо шить.

— Къ вѣнцу надо платье заказать.

— Пожалуй.

— Шляпу надо тоже купить.

— Ну ужъ, шляпку пусть мужъ купитъ... Вотъ подумаешь: копишь, копишь на нихъ, а куда все идетъ? Подвернется какая-нибудь дрянь... Все для начальства дѣлаешь. А ты думаешь, я такъ-то и отдалъ бы ее Попову?

— Нѣтъ.

— То-то. Теперь денегъ, я полагаю, будетъ съ нихъ и ста рублей. Рясы у меня и подрясники есть, есть и шляпы и пояса. Дамъ ему пока по одной штукѣ, да какъ поѣдетъ посвящаться, надо отцу ректору послать сколько-нибудь.

— Сколько ты думаешь?

— Это не твое дѣло. Попову на издержки дамъ сто рублей.

— Будетъ.

— Кольца у Нади есть?

— Есть одно, золотое съ бриллiантовымъ камнемъ.

— Покажи.

Марья Алексѣевна принесла ящичекъ съ драгоцѣнными вещами. Благочинный пересмотрѣлъ ихъ, выбралъ нѣсколько колецъ, браслетовъ, сережекъ, завернулъ ихъ въ бумажку и сказалъ: «это Надѣ, а эти пусть хранятся для Тани».

— Гдѣ же будетъ Поповъ жить?

— Во флигелѣ живетъ зять. Помѣстить развѣ его сюда наверхъ въ три пустыя комнаты, а Попова во флигель.

— Какъ знаешь. Надо бы съ Надей поговорить, Антонъ Иванычъ. А?

— Что съ ней говорить-то?

— Неловко какъ-то... Пусть она знаетъ, что у нея есть женихъ.

— Ну, позови ее сюда.

Пришла Надя.

— Послушай, Надежда Антоновна, — началъ отецъ:—тебѣ уже двадцатый годъ; за тебя сватались многіе, но я не хотѣлъ выдать тебя, сама знаешь, почему. А въ дѣвицахъ тебѣ сидѣть неловко; да я уже старъ и слабъ становлюсь, того и смотри, что грѣшнымъ дѣломъ помру. При мнѣ-то тебѣ хорошо, а что будетъ безъ меня? Понимаешь?

— Понимаю, папаша.

— Ну, такъ вотъ что я тебѣ скажу:—ты скоро выйдешь замужъ.

— Я... за кого?—сказала дочь, дрожа.

— Видѣла ты сегодня учителя Васи?

— Видѣла.

— Ну, такъ за него.

— Тятенька!..

— Что еще?

— Онъ мнѣ не нравится.

— А кто же тебѣ нравится? Ну-ко скажи?

— Мнѣ никто не нравится.

— Въ монастырь что ли захотѣла?

— Нѣтъ-съ.

— Я уже рѣшилъ: ты должна выдти замужъ за Егора Иваныча Попова. Слышишь!

— Тятенька...—Надежда Антоновна заплакала.

— Это что за слезы?.. Знаешь каретникъ?

— Тятенька... Я не могу за него выдти...

— Марья, позови Егорку!

Дочь упала на колѣни въ ноги отцу.

— Марья! тебѣ говорятъ.

— Антонъ Иванычъ, полно... Что же, если она не хочетъ!

— Знать я ничего не хочу. Что мнѣ, по вашей милости, прикажете безъ куска хлѣба сидѣть? Егорка!

Пришелъ Егорка.

— Позови дворника.

— Тятенька... Умоляю васъ.

— Что, за письмоводителя, небось, хочется?

— Нѣтъ.

— Встань, нечего рюмить... — Дочь встала.— Ну, какого же тебѣ жениха надо?

— Протопопа.

— А!—отецъ захохоталъ. — Послушай, Надя, что я тебѣ скажу: Поповъ тебѣ не нравится, потому что онъ некрасивъ. Но гдѣ же ты возьмешь хорошихъ жениховъ?... А ты прочитай вотъ письмо ректора. — Онъ подалъ ей письмо. Она взяла робко, робко прочитала и отдала отцу.

— Ну, что скажешь?—спросилъ ее отецъ.

— Тятенька, нельзя ли повременить? Я подумаю.

— Думать тутъ нечего. Я хочу, чтобы ты вышла, и все тутъ.

— Послушай, Надя, отецъ тебѣ не желаетъ худа, ты будешь за священникомъ.

— Когда ты выйдешь за него замужъ, я попрошу владыку и самъ къ нему поѣду, чтобы онъ назначилъ Попова въ Егорьевскую церковь священникомъ, вмѣсто Полуектова, котораго попрошу перевести въ другое мѣсто. Кромѣ этого я сдѣлаю его учителемъ въ училищахъ духовномъ и свѣтскомъ: въ нашемъ онъ будетъ обучать грамматикѣ, а въ томъ—закону Божію. Ну что, и этимъ недовольна?

— Воля ваша, папенька.

— Подойди ко мнѣ.

Дочь подошла. Отецъ благословилъ ее и поцѣловалъ; то же сдѣлала и мать.

— Я тебя не силой выдаю, но желаю счастія съ хорошимъ человѣкомъ.

— Только онъ мнѣ очень не нравится.

— Понравится. Это вы все такъ говорите до замужества. Къ завтрашнему дню ты, смотри, одѣнься получше.

— Хорошо. А онъ будетъ?

— Какъ же.

— А онъ, тятенька, очень некрасивъ... Обращеніе у него какое-то смѣшное такое.

— Что ты, шишки что ли у него на носу замѣтила?

Дочь улыбнулась.

— Ну, ничего... Ты съ нимъ въ губернскій поѣдешь. Впрочемъ и я поѣду, а то онъ тамъ денегъ много истратитъ. Смотри, Надя, помни все, чему я училъ тебя. Если ты будешь ему худой женой и если онъ станетъ жаловаться на тебя, я вступаться не буду.

— Поэтому-то, папаша, мнѣ и не хочется идти за него замужъ.

— Тебѣ все академиста нужно... Ничего, матушка, ужъ коли самъ ректоръ хлопочетъ, стало быть человѣкъ хорошій. Ты такъ и думаешь, что я зря отдаю тебя?

Послѣ этого началось совѣщаніе при зятѣ и его женѣ: сколько истратить на свадьбу, кого пригласить, кого сдѣлать шаферами, тысяцкимъ и прочими. Тысяцкимъ назначено было просить богатаго купца Илью Аѳанасьевича Печужникова, старосту собора. Въ тѣхъ мѣстахъ тысяцкій или *боляринъ*—главное лицо на свадьбѣ. На обязанности его лежитъ вся забота по вѣнчанью: онъ долженъ нанять лошадей, которыя конечно ничего не стоятъ, потому что хозяева ихъ сами даютъ лошадей для того, что будто бы бываетъ счастье тому хозяину, который далъ лошадей, на коихъ ѣхалъ свадебный поѣздъ; долженъ зажечь паникадило, свѣчи на свой счетъ, изъ своего же кармана заплатить духовенству и пѣвчимъ за вѣнчанье. Шаферомъ невѣсты назначенъ письмоводитель духовнаго правленія Василій Иванычъ Коневъ и учитель духовнаго училища Матвѣй Карпычъ Алексѣевъ. Послѣ завтра назначенъ вечеръ или просватанье, а завтра семейный обѣдъ.

Егоръ Иванычъ ничего объ этомъ не зналъ. Невѣста его, Надежда Антоновна, всю ночь не спала. Она бо́льшую половину ночи плакала. Сколь ни тяжела была ей жизнь съ родителями, сколько она ни перетерпѣла отъ нихъ разной брани, все же она была барышней; всѣ люди заискивали ея расположенія, въ особенности богатая и чиновная молодежь судила объ ней съ такой стороны, что она богатая невѣста, но подступиться къ ней трудно. Какъ я сказалъ выше, ей хотѣлось мужа протопопа, стало быть, врядъ ли она согласилась бы выйти замужъ за богатаго и очень чиновнаго свѣтскаго. Впрочемъ, по приказу отца она могла бы выйти замужъ и за дьячка, если бы такъ приказалъ владыко, чего конечно со стороны владыки не могло бы быть, а если бы было, такъ развѣ наказаніемъ для отца за его прегрѣшенія... Она раньше никакъ не могла себѣ представить, чтобы она вышла замужъ за простого священника, какимъ былъ мужъ ея сестры, котораго она недолюбливала за форсистость; ей непремѣнно хотѣлось мужа съ камилавкой и наперснымъ крестомъ, о чемъ ей твердили раньше отецъ и мать. Къ этому она прибавляла то только, что этотъ господинъ долженъ быть непремѣнно молодъ и красивъ. Поэтому неудивительно, что Егоръ Иванычъ, котораго она видѣла разъ у отца и на котораго съ перваго разу не обратила вниманія и обозвала его при Васѣ бѣднымъ и голоднымъ учителишкомъ, ей очень не понравился. Каково же ей перенести то оскорбленіе, что сами родители приневоливаютъ ее выйти замужъ за это *чучело!* «Онъ только въ огородъ и годится, дылда эдакая!», думала она ночью. «Зачѣмъ же это отецъ и мать твердили мнѣ, что мнѣ нужно держать себя, какъ протопопской дочкѣ, потому что мнѣ слѣдуетъ выйти за протопопа; а потомъ, какъ выросла, они и отдаютъ какой-то чучелѣ... Ужъ я таки постою на своемъ! Чтобъ я стала любить его, уважать—держи! Если бить станетъ—убѣгу! Ишь, далась я имъ; дѣлаютъ, что хотятъ. Нѣтъ, ужъ теперь не бывать этому: я вольный казакъ буду, а муженька сама бить буду»...

На другой день Егоръ Иванычъ, получивъ родительское благословеніе, съ трепетомъ шелъ къ благочинному. Онъ никакъ не думалъ, чтобъ благочинный отдалъ за него свою дочь, и шелъ просить его присутствовать при вѣнчаніи его съ Лизаветой

Алексѣевной. «А дочка его хороша, надменна немножко, но послѣ бы обтерлась. Только благочинный не согласится; а если согласится, что̀ я стану говорить съ ней?» На немъ надѣты сюртукъ, брюки, жилетка и сапоги Андрея Филимоныча, и все это, какъ говорится, мѣшкомъ сидѣло на немъ.

— Здравствуйте, Егоръ Иванычъ, — сказалъ пріятельски благочинный въ кабинетѣ. Онъ приказалъ Егору, чтобы Поповъ шелъ прямо къ нему въ кабинетъ.

Егоръ Иванычъ подошелъ подъ благословеніе.

— Садитесь, мы будемъ говорить дѣло.—Егоръ Иванычъ сѣлъ.

— Скажите пожалуйста, это ваши вещи, что на васъ?

— Мои-съ,—совралъ Егоръ Иванычъ.

— Еще что у васъ есть?

— Больше ничего нѣтъ, потому что мой отецъ бѣдный человѣкъ.

— Я знаю многихъ семинаристовъ, у которыхъ отцы бѣднѣе вашего отца; они богатые.

— Не знаю, отецъ благочинный... Пѣвчіе архіерейскіе богатые люди, а изъ остальныхъ развѣ имѣютъ деньги тѣ, которые кондиціями занимаются, т. е. учатъ дѣтей.

— А вы не обучали раньше?

— Я не имѣлъ времени: я все занимался своими лекціями... Увѣряю васъ, если бы не отецъ мой, я бы былъ въ академіи, или въ университетѣ.

— О, въ университетѣ! Избави Богъ! Если мой сынъ захочетъ въ университетъ, я его и ногой не пущу въ свой домъ.

— Оттуда, отецъ благочинный, какъ и изъ академіи, можно хорошую должность получить.

— Знаю, каковы эти должности. Вонъ у насъ судебный слѣдователь въ университетѣ учился, а что онъ сравнительно съ нашимъ братомъ?.. Нашъ братъ и священникъ много значитъ. Я очень сожалѣю, что выдалъ свою дочь за лекаря. Пьяница такой, прости Господи!—Благочинный плюнулъ.

— За то онъ образованный человѣкъ. Говорятъ, что всѣ кончившіе курсъ въ медицинской академіи—образованные люди.

— Это я знаю, и эту академію больше уважаю, чѣмъ университетъ... Но вотъ что, Егоръ Иванычъ... вчера вы просили невѣсту.

— Точно такъ-съ.

— Я нашелъ.

Егоръ Иванычъ всталъ, поклонился и сказалъ: «покорнѣйше благодарю, отецъ благочинный».

— Этого мало. Я вамъ долженъ сказать, чтобы вы уважали вашу жену, а иначе я могу сдѣлать съ вами—что̀ хочу. Тогда вы погубите и себя, и свою жену. Я отдаю вамъ свою дочь, Надежду Антоновну.

Егоръ Иванычъ остолбенѣлъ.

— Поняли вы это?

— Очень вамъ благодаренъ.

— Смотрите, чтобы жалобъ не было. Я это дѣлаю изъ любви христіанской, изъ уваженія къ отцу ректору, который ходатайствовалъ у меня за васъ. Поняли?

— Покорнѣйше благодарю, отецъ благочинный.

— Подите, занимайтесь.

Егоръ Иванычъ, какъ вышелъ въ залъ, перекрестился.—«Слава тебѣ, Господи!.. Ай да отецъ ректоръ!»

Въ той же комнатѣ, гдѣ онъ занимался вчера, онъ засталъ дѣтей за играми и подошелъ къ Васѣ.

— Здравствуйте, братецъ!—сказалъ Вася.

— Это почему? — спросилъ удивленный Егоръ Иванычъ.

— Братецъ, братецъ!—кричали остальныя дѣти и окружили Егора Иваныча.

— Я ничего не понимаю.

— А гостинцевъ принесли?—Женихъ!

— Какой женихъ?

— Дайте гостинцевъ, скажемъ.

— Господа, мнѣ заниматься надо съ Васенькой.

— Женихъ, женихъ!... Надинъ женихъ!..

— А мнѣ, братецъ, лошадь хорошенькую купите...

Вошла Надежда Антоновна. Увидавъ Егора Иваныча, она косо взглянула на него. Егоръ Иванычъ поклонился ей. Она отвернулась.

— Петя, Таня, пошли къ мамашѣ.

— Не хочемъ. Мы съ братцемъ посидимъ.

— Съ какимъ братцемъ?

— А съ Егоромъ Иванычемъ.

Надежда Антоновна ушла, а Егоръ Иванычъ покраснѣлъ и Богъ знаетъ, что̀ бы онъ сдѣлалъ въ это время съ дѣтьми. Пришла Марья Алексѣевна. Онъ поклонился ей.

— Мое почтеніе... какъ васъ звать-то?

— Егоръ Иванычъ.

— Егоръ Иванычъ... Прошу любить и жаловать.—Она очень строго глядѣла на Егора Иваныча.

Егоръ Иванычъ поклонился.

— Пошли вонъ! пошли!—сказала она дѣтямъ и прогнала ихъ изъ комнаты подзатыльниками. Потомъ подсѣла къ Егору Иванычу. Егоръ Иванычъ сталъ заниматься съ Васей, а Марья Алексѣевна молча смотритъ на него, подперши подбородокъ правой рукой. «Чтобъ те провалиться», думаетъ Егоръ Иванычъ.

— Вася, ступай къ дѣтямъ,—сказала мать.

Вася ушелъ. Егоръ Иванычъ остался одинъ на одинъ съ протопопшей. Протопопша молчитъ. Егоръ Иванычъ поклонился ей и сказалъ: «прощайте».

— Куда же вы?

— Къ отцу благочинному.

— Онъ теперь занятъ.

— Такъ я домой дойду.

— Вамъ протопопъ говорилъ что-нибудь сегодня?

— Насчетъ чего-съ?

— Насчетъ Нади?

Егоръ Иванычъ покраснѣлъ и тихо сказалъ: «да».

— Вы напрасно не въ свои сани садитесь.

Егоръ Иванычъ молчитъ и переминается съ ноги на ногу.

— Надя вамъ не пара: она—протопопская дочь, какъ бы то ни было, а вы—сынъ дьякона.

— Я, матушка (онъ забылъ ея имя), кончилъ курсъ по первому разряду.

— Знаю, что кончили, все-таки дочь моя вамъ не пара.

— Я, матушка, силой не напрашиваюсь; это воля отца благочиннаго.

Минутъ пять молчаніе.

— Вѣдь мы много вамъ не дадимъ приданого; на наши карманы не надѣйтесь.

— Я, матушка, не прошу ничего.

— Все-таки кое-что надо. Вамъ надо и ряску получше, такъ какъ вы не священническую берете; ну, кое-что еще дадимъ, а объ остальномъ и не заикайтесь.

Егоръ Иванычъ не зналъ, что лучше сдѣлать: сказать ли ей: «покорнѣйше благодаримъ», или поклониться. Онъ промолчалъ.

Опять молчаніе.

— Вы мою дочь берегите, какъ зеницу ока. А будете обижать,—не сдобровать вамъ! Помните, что вамъ бы слѣдовало жениться на дьяконской дочери; а если мы и отдаемъ вамъ дочь, такъ только изъ уваженія къ отцу ректору, потому что онъ начальникъ нашъ.—Марья Алексѣевна ушла.

Егора Иваныча зло взяло. Онъ вышелъ въ залу, сталъ ходить и думать: «что они важничаютъ-то! Я же вѣдь не напрашивался, сами суютъ. Ишь, отецъ ректоръ имъ дался!.. Ужъ лучше, кажется, отказаться отъ этой барской невѣсты».

Въ пріемную, а потомъ въ залъ вошли Павелъ Ильичъ Злобинъ и его жена. Павелъ Ильичъ былъ худой, блѣдный господинъ съ коротенькими волосами и маленькой рыжей бородой. Они поклонились Егору Иванычу очень важно.

— Если не ошибаюсь, вы Егоръ Иванычъ Поповъ?—спросилъ Злобинъ.

— Точно такъ.

— А я Павелъ Ильичъ Злобинъ; а это моя жена Александра Антоновна, урожденная Тюленева.

Егоръ Иванычъ поклонился.

— Папаша дома? — спросилъ Павелъ Ильичъ Егора Иваныча.

— Въ кабинетѣ.

Зять съ женой вошли въ кабинетъ; немного погодя они вышли съ благочиннымъ. Благочинный представилъ ихъ Егору Иванычу и имъ Егора Иваныча, сказавъ: «мой нареченный зять», потомъ съ дочерью ушелъ въ другія комнаты.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ благочинный съ женой, за нимъ разодѣтая и нарумяненная Надежда Антоновна и дѣти съ Александрой Антоновной. Благочинный взялъ правую руку дочери и повелъ ее къ Егору Иванычу.

— Знаешь ты его?—спросилъ онъ дочь.

— Нѣтъ,—отвѣтила она робко и гордо.

— Тѣмъ лучше для тебя. Вотъ твой женихъ,—сказалъ благочинный. Дочь ничего не сказала.

— Что же ты молчишь?

— Что мнѣ говорить прикажете?

— Согласна ты, или нѣтъ, выйти за него замужъ?

— Согласна, тятенька,—сказала дочь нерѣшительно.

— Ну, и дѣлу конецъ. Возьмите руки.

Егоръ Иванычъ конфузится, конфузится и дочь благочиннаго.

— Что же вы?—говоритъ строго отецъ.

— Надя, возьми руку Егора Иваныча,—говоритъ мать.

Надя строго смотритъ на мать и сердито беретъ руку Егора Иваныча.

— Смотри у меня!—кричитъ отецъ.

— Садитесь рядомъ.

Всѣ сѣли. Егоръ Иванычъ сѣлъ около Надежды Антоновны. Семейные начали говорить о непокорствѣ дочери, женихъ и невѣста слушаютъ. Егоръ Иванычъ смотритъ на невѣсту, невѣста смотритъ въ сторону. Такъ они просидѣли до обѣда. За обѣдомъ то же самое. Послѣ обѣда женихъ и невѣста пожали руки. Завтра воскресенье, и по этому случаю Егоръ Иванычъ показалъ благочинному сочиненную имъ и сказанную при архіереѣ проповѣдь. Благочинный велѣлъ ему сказать ее въ соборѣ и послѣ обѣдни придти къ нему. Просватанье отложили на три дня.

— Ну, что?—спросилъ Егора Иваныча отецъ, какъ только онъ вошелъ домой.

— Хорошо. Сегодня благочинный представилъ меня зятю и невѣстѣ, а черезъ три дня и просватанье.

— Ну, и слава тебѣ, Царю Создателю! Какъ же теперь, Алексѣя-то Борисыча мы обманули, выходитъ?

— Развѣ вы давали ему слово?

— На вотъ! А зачѣмъ мы вчера у него были?

— Я же вѣдь вамъ говорилъ, что торопиться нечего.

— Ну, ничего... Какъ же ты, Егорушка, дѣлато обдѣлалъ?

Егоръ Иванычъ разсказалъ все, съ нѣкоторыми прикрасами, а именно, что невѣста—дѣвушка смирная, послушная, и что ректоръ приказалъ благочинному отдать за него дочь.

— Слава Богу, слава Богу!.. Ужъ я непремѣнно молебенъ отслужу. Свѣчку рублеву поставлю. А что же онъ меня-то не звалъ?

— На просватанье должно быть позоветъ.

— Экой гордый! Ну, да гдѣ мнѣ съ благочиннымъ дружбу водить! такъ-тось...

— А вы, тятенька, если вамъ случится быть у благочиннаго, ведите себя скромнѣе.

— Ужъ я знаю. Да что я, развѣ не отецъ тебѣ? а, Егорушка?

— Черезъ васъ я могу лишиться невѣсты.

— Полно-ка ты толковать-то... Развѣ невѣстъ-то мало?

Егоръ Иванычъ рукой махнулъ и пошелъ на улицу. Отецъ остановилъ его.

— Ты куда?

— Пойду прогуляюсь.

— Пойдемъ вмѣстѣ.

— Я одинъ.

— Ну, Богъ съ тобой!.. Вотъ они, Анна Пантелеймовна, каковы нынѣ сынки-то!.. Ты ихъ воспитывай, обучай, а они, какъ вылупятся на свѣтъ Божій. и знать тебя не хочутъ.

Егоръ Иванычъ обидѣлся этимъ.

— Тятенька, на что тутъ сердиться? Мнѣ хочется одному заняться самимъ собой...

— Ну, и занимайся. Ты вѣдь священникомъ будешь, протопопа получишь, а я такъ заштатнымъ и умру... Куда ужъ мнѣ! Ступай, ступай, Богъ съ тобой, я пойду спать...

На другой день утромъ Егоръ Иванычъ прочиталъ проповѣдь о блудномъ сынѣ. Когда онъ прочиталъ ее, она ему не понравилась, потому что тутъ почти ничего не было дѣйствительнаго, а написаны цитаты, тексты и разныя фразы. На сараѣ крыша была высокая и свѣтъ проходилъ сквозь отверстіе, сдѣланное въ простѣнкѣ. Егоръ Иванычъ всталъ; сдѣлалъ важную позу, посмотрѣлъ впередъ, направо и налѣво, какъ будто представляя народъ, постоялъ немного, и началъ спокойнымъ голосомъ читать. Прочитавъ вслухъ немного, онъ остановился: «ей-Богу, никто ни одного слова не пойметъ... Какъ тутъ лучше сдѣлать? Постой... Проповѣдь благочинный не читалъ, я разскажу исторію блуднаго сына, примѣняясь къ нынѣшней, введу тутъ одинъ разсказъ изъ нашей современной жизни... Ловко ли будетъ? Нѣтъ, разсказъ изъ нашей современной жизни въ церкви неловко говорить, а разскажу исторію блуднаго сына, какъ можно яснѣе, безъ тетрадки, какъ говорятъ у насъ пріѣзжіе профессора. Надо сказать такъ, чтобы ихъ всѣхъ ошеломило. Конецъ объ начальствѣ я выкину, а замѣню другими словами... Вотъ она, наука-то! Четыре человѣка сочиняли, четыре головы работали, а написали очень плохо... Впрочемъ и писали-то про начальство». Онъ началъ опять читать сначала. Позу онъ выдержалъ. «Только бы въ церкви не сконфузиться. Я думаю, что будутъ слушать, тѣмъ болѣе, что здѣсь еще молодые люди не говорили проповѣдей».

Егоръ Иванычъ напомадилъ волоса, надѣлъ бѣлую манишку и пошелъ въ церковь уже во время херувимской, и тамъ сквозь густоту людей гордо пробрался въ алтарь, такъ что многіе стали въ недоумѣніе, кто это? Полгорода уже знали, что пріѣзжій семинаристъ, женихъ протопопской дочери, будетъ сегодня сказывать проповѣдь. Поэтому народу собралось болѣе обыкновеннаго. Въ этотъ день долженъ быть царскій молебенъ, и потому священники изо всѣхъ церквей собирались въ соборъ.

Вышелъ Егоръ Иванычъ въ стихарѣ, въ бѣломъ галстухѣ, съ причесанными волосами. Онъ прошелъ важно по протодьяконски къ налою, окинулъ глазами весь народъ, и у праваго клироса увидалъ Марью Алексѣевну съ Надеждой Антоновной. Сердце екнуло у Егора Иваныча, но онъ взглянулъ на налой, помолчалъ, вытащилъ тетрадку, поправилъ ее, перекрестился и началъ проповѣдь громко и спокойнымъ голосомъ, ударяя на каждомъ словѣ. Изъ церкви никто не шелъ, а народъ лѣзъ впередъ къ налою къ молодому проповѣднику. Онъ читалъ почти наизусть, изрѣдка поглядывая въ тетрадку, а прочія слова говорилъ, смотря то вправо, то влѣво. Онъ замѣчалъ, что всѣ смотрѣли на него, даже невѣста съ матерью впились въ него глазами. Егоръ Иванычъ здѣсь выдержалъ проповѣдь: онъ говорилъ, какъ ни одинъ въ этомъ городѣ не говорилъ такой проповѣди, именно онъ разсказывалъ спокойнымъ, ровнымъ голосомъ. Даже пришедшіе изъ другихъ церквей на молебенъ дьяконы и священники вышли изъ алтаря, слушали его. Но вотъ онъ остановился, облокотился правой рукой на налой и началъ разсказъ о блудномъ сынѣ, примѣшивая изрѣдка кое-что изъ современнаго. Въ народѣ шептались, потому что Егоръ Иванычъ не смотрѣлъ въ тетрадку; шептались и Тюленевы. Когда онъ сталъ кончать проповѣдь, то объяснялъ тексты св. писанія безъ тетрадки. Онъ видѣлъ, что Марья Алексѣевна утирала платочкомъ глаза, а Надежда Антоновна улыбалась.

Когда Егоръ Иванычъ вошелъ въ алтарь, его окружили священники: «Славно! славно вы сказали слово. Великолѣпіе какое!..» Протопопъ радостно улыбался.

По окончаніи обѣдни протопопъ былъ очень любезенъ и веселъ. Егоръ Иванычъ подошелъ къ Марьѣ Алексѣевнѣ и Надеждѣ Антоновнѣ, поздоровался съ ними.

— Ахъ, какъ хорошо вы сказали! Я никогда не слыхала такой проповѣди,—сказала Марья Алексѣевна.—На что Надя—не охотница до проповѣдей, и той понравилось.

— Неужели, Надежда Антоновна...

— Да. Я въ первый разъ слышала, какъ вы безъ тетрадки сказывали. Я думаю, трудно?

— Гораздо легче, чѣмъ по тетрадкѣ,—похвастался Егоръ Иванычъ.

— А вы прежде сказывали проповѣди?—спросила его Марья Алексѣевна.

— Въ семинарской церкви часто сказывалъ. Насъ пробовали сказывать на разсказъ... Эта проповѣдь, по моему, не очень хороша, да я не успѣлъ составить другую, потому что у меня нѣтъ подъ руками книгъ, какія мнѣ надо: тетрадки, по которымъ я сказывалъ въ семинаріи и крестовой, я роздалъ на память товарищамъ.

Подошелъ Иванъ Иванычъ. Егоръ Иванычъ рекомендовалъ его Тюленевымъ.

— Это мой папаша, Иванъ Иванычъ.

— Очень пріятно познакомиться, — сказала Марья Алексѣевна.

— Вы, должно быть, любите пѣть?—спросила старика Надежда Антоновна.

— Страсть моя!

— Пожалуйте къ намъ, вмѣстѣ съ Егоръ Иванычемъ, — пригласила старика Марья Алексѣевна.

— Покорнѣйше благодарю. Куда ужъ мнѣ со старыми костями!..

— Ничего, приходите,—сказала Надежда Антоновна.

«Ну, дѣло идетъ на ладъ», подумалъ Егоръ Иванычъ.

Подошелъ благочинный въ рясѣ и съ тростью. Егоръ Иванычъ представилъ ему отца. Отецъ подошелъ подъ благословеніе благочиннаго. Благочинный пригласилъ его къ себѣ обѣдать. По вы-

ходѣ изъ церкви благочинный съ женой сѣлъ въ коляску.

— Папаша, я съ вами!—сказала Надежда Антоновна.

— Пройдись пѣшкомъ съ Егоромъ Иванычемъ.

Надеждѣ Антоновнѣ не хотѣлось идти пѣшкомъ и притомъ съ женихомъ, но надобно было идти, потому что благочинный уѣхалъ. Егоръ Иванычъ въ первый разъ шелъ съ дѣвушкой и притомъ барышней-аристократкой. Онъ не зналъ, какъ занять ее. Однако онъ началъ:

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Вы на меня не сердитесь?

— Я... за что?

— За то, что я просилъ вашей руки.

— Это воля папаши...

— А вы что скажете?..

— Я ничего не могу сказать... Воля папаши.

— Знаете ли, Надежда Антоновна, — началъ опять Егоръ Иванычъ: — иду я вчерась вечеромъ мимо Егорьевской церкви. Прошелъ два, три квартала, завернулъ въ переулокъ, смотрю, повидимому кажется дьячокъ или пономарь ругается изъ своего дома черезъ улицу съ какой-то бабой. «Ты, говоритъ дьячокъ, безстыдница, воровка»... Та говоритъ: «ты самъ воръ».—«Кто, говоритъ, я воръ!.. Подойди сюда». Я прижался у заплота и слушаю, что̀ дальше будетъ. Что же бы вы думали? Вдругъ выбѣгаетъ на улицу дьячокъ, перебѣгаетъ улицу и подходитъ къ тому окну, изъ котораго ругалась баба. Только что онъ подошелъ къ окну, какъ оттуда ему что-то вылили въ лицо. Дьячокъ заругался, а стоявшіе на улицѣ люди, вѣроятно мѣщане, человѣкъ съ двадцать, такой хохотъ подняли, что срамъ, да и только.

— Это у насъ часто бываетъ.

— Ну, у насъ въ губернскомъ этого сдѣлать нельзя.

— Еще бы въ губернскомъ!

— А вы были тамъ?

— Нѣтъ.

— А побывать не мѣшаетъ.

— Что же тамъ хорошаго? Тамъ, говорятъ, есть хорошаго много, но можетъ быть не лучше нашего.

— Тамъ театръ есть, гулянья, рѣка. Удовольствій пропасть, только надо деньги.

— Я сколько разъ просила папашу свозить меня туда, да онъ не соглашался.

— Тамъ удовольствія даются только для свѣтскаго общества, и поэтому вашъ папаша, судя по себѣ, думалъ, что и вамъ тамъ дѣлать нечего.

— Можетъ быть мнѣ и нельзя.

— Кто вамъ сказалъ? Женщина вездѣ имѣетъ право быть. Когда вы выйдете за меня замужъ, я васъ вездѣ повожу раньше посвященія.

— А вы думаете, что я выйду за васъ?

— А вамъ не хочется?

Надежда Антоновна посмотрѣла на него и сказала:—«А отчего это у васъ шишки на носу?»—она захохотала.

— Это отъ природы.

— Какъ отъ природы?

— Такимъ родился.

— Вамъ который годъ?

— Мнѣ двадцать третій.

— Неправда, вамъ сорокъ.

— У меня есть метрическое свидѣтельство.

Вошли въ домъ благочиннаго. Надежда Антоновна пошла въ свои комнаты, а Егоръ Иванычъ съ отцомъ остались въ залѣ.

Разговоръ пошелъ насчетъ проповѣдей и продолжался до обѣда. Въ это время старикъ, успѣвшій выпить двѣ рюмки хересу, разговаривалъ съ дѣтьми благочиннаго. Онъ понравился дѣтямъ, и они лѣзли къ нему на колѣни, щипали его бороду. Надежда Антоновна толковала съ сестрой Александрой. Обѣдъ прошелъ весело. Говорили всѣ. Благочинный говорилъ что-то про отца Ѳедора, Марья Алексѣевна — про городничиху, Александра—про Лизу Коровину, Егоръ Иванычъ говорилъ съ Павломъ Ильичемъ и благочиннымъ, больше отвѣчая на ихъ вопросы; старикъ толковалъ дѣтямъ, какъ онъ любитъ ловить на сѣнникѣ мухъ. Всѣ были заняты, казалось, всѣ родные, и въ будущемъ не ожидали никакой перемѣны.

Послѣ обѣда всѣ распрощались любезно. Егоръ Иванычъ былъ приглашенъ Марьей Алексѣевной на чай. Онъ попросилъ почитать книжки; ему дали книжку «Духъ Христіанина».

Когда ушелъ Егоръ Иванычъ и Злобины, благочинный спросилъ Надю:

— Ну, что ты скажешь. понравился ли тебѣ женихъ?

— Нѣтъ, папаша.

— Я удивляюсь, какой тебѣ дьяволъ вбилъ въ голову разной дичи! Ну, чѣмъ онъ худъ? Правда, онъ некрасивъ, бѣденъ, но за то уменъ; а дѣло не въ красотѣ, а въ умѣ. Примѣръ ты можешь брать со Злобина... О чемъ вы давече толковали, какъ шли дорогой?

— Право, забыла.

— Послушай, Надежда, если ты будешь такъ отвѣчать мнѣ, я откажу этому жениху, напишу ректору, что ты не хочешь идти замужъ, а съ тобой, знаешь, что сдѣлаю?..

— Воля ваша.

— Я тебя въ монастырь пошлю. Слышишь!

Надежда Антоновна заплакала.

— Что, губа-то не дура!.. Выбирай одно изъ двухъ: монастырь, или иди замужъ. Слышишь?

— Папаша, дайте мнѣ подумать.

— Нечего тутъ думать. А знай, что послѣ завтра будетъ просватанье. Сегодня будетъ онъ сюда, займи его.

Благочинный съ этимъ словомъ вышелъ, оставивъ дочь въ слезахъ.

— Ну что, Егоръ Иванычъ, каковы дѣла?—спросилъ Егора Иваныча Андрей Филимонычъ, какъ онъ пришелъ домой.

— Да досада страшная! Никакъ не могу поговорить съ ней наединѣ. Только скажешь ей слово, то Злобинъ подойдетъ, то отецъ съ матерью пристанутъ.

— Ну, когда женишься, успѣешь наговориться,— замѣтилъ отецъ.

— Эхъ, тятенька, не понимаете вы, что такое женитьба...

— Ну, и врешь! Я тридцать одинъ годъ прожилъ съ женой.—Отецъ обидѣлся.

— У васъ совсѣмъ былъ иной взглядъ на женщину. Вамъ нужна была женщина и только, а о чувствахъ ея вы не заботились. Прежде на любовь такъ смотрѣли, какъ быкъ смотритъ на корову.

Иванъ Иванычъ плохо понялъ.

— Чего же еще тебѣ недостаетъ?

— Знаете ли, тятенька: мнѣ напередъ нужно узнать отъ самой невѣсты, можетъ ли она быть мнѣ женой.

— А отчего же она не можетъ?

— А если она меня не любитъ?

— Женишься, полюбитъ!

— Нѣтъ, ужъ тогда поздно будетъ. Я понимаю женитьбу такъ: жена моя должна быть другомъ мнѣ, а никакъ не рабой, т. е. она можетъ имѣть полную свободу во всемъ, и была бы моимъ утѣшителемъ.

— Дуракъ ты, Егорушка.

Егоръ Иванычъ ничего не сталъ говорить больше съ отцомъ. Онъ заговорилъ съ Андреемъ Филимонычемъ на латинскомъ языкѣ. Старикъ осердился и ушелъ къ Коровину.

— Вы, Егоръ Иванычъ, поговорите съ ней о любви.

— Неловко говорить-то. Вѣдь я знакомъ съ нею только два дня.

— Какъ женихъ, вы можете поговорить. Скажите, я, молъ, люблю васъ. Скажите по совѣсти, полюбили ли вы ее?

— Нѣтъ, я женюсь по необходимости.

— Отецъ вашъ отчасти правъ. Я самъ женился на Аннушкѣ для того, чтобы скорѣе получить мѣсто. Сначала шелъ я смотрѣть невѣсту, меня холодомъ какъ будто обдавало; когда я увидѣлъ ее, мнѣ стыдно стало. Она мнѣ нравилась и не нравилась, любви настоящей не было, судя по-вашему. Ну, вотъ прожилъ уже полгода, теперь полюбилъ. Вѣдь наша женитьба заключается въ полученіи мѣстовъ. Не женишься—мѣста не получишь, а полюбишь дѣвушку—мѣста не найдешь.

— Да, это правда: мы женимся для мѣстовъ, а о любви и дѣла нѣтъ. Гадко. Послѣ этого знаете ли, что̀ мнѣ хочется сдѣлать? мнѣ хочется въ свѣтскіе выйти.

— Полноте вы дурачиться. Повѣрьте, что изъ тысячи браковъ сочетавшихся людей нашего сословія развѣ десять обоего пола вѣнчаются, полюбивъ другъ друга.

— Все-таки мнѣ хочется поговорить съ ней о любви.

— Напрасный трудъ. Какъ провинціальная барышня, не читавшая того, что мы читали и поняли, она любовь понимаетъ по-своему. Вѣдь вы же говорите, что вамъ кто-то сказалъ, что ей надо жениха протопопа.

— Ну, я все-таки попытаюсь узнать ея способности.

— Попробуйте. Только знайте, что вамъ теперь отказываться поздно. Отецъ ея обидится, и вы пожалуй лишитесь мѣста.

На другой день Егору Иванычу привелось быть наединѣ съ Надеждой Антоновной въ комнатѣ.

— Вы, Надежда Антоновна, читаете что-нибудь? —спросилъ Егоръ Иванычъ Надежду Антоновну.

— Читаю.

— Что читаете?

— Большею частью духовныя: проповѣди Филарета, житія святыхъ, «Духъ Христіанина».

— Я думаю, вы наизусть все это знаете?

— Много очень книгъ, всего не запомнишь.

— А нашъ братъ цѣлыя четырнадцать лѣтъ учится всякой премудрости.

— Не даромъ вы и мужчины.

— И женщины могутъ знать все, только конечно при различныхъ условіяхъ.

— При какихъ же?

— Это зависитъ отъ родителей: если родитель будетъ заботиться объ умственныхъ способностяхъ дѣвушки, самъ будетъ проводить истинныя идеи, а не старыя идеи, и если онъ самъ умный, современный человѣкъ, то изъ дѣвушки выйдетъ умная женщина, равная по уму мужчинѣ. А надо вамъ замѣтить, что мужчины не всѣ умны. Примѣръ этотъ мы можемъ видѣть въ чиновникахъ здѣшняго города.

— Это точно: народъ здѣсь такой глупый, что ужасъ.

— Конечно не всѣ глупы, есть между ними и умные, только эти умные люди скоро гибнутъ здѣсь.

— Нѣтъ; здѣсь ни одного умнаго нѣтъ.

— А мужъ вашей сестры, Павелъ Ильичъ?

— О, дуракъ набитый!..

— Полноте пожалуйста! Я съ нимъ говорилъ, мы разрѣшали нѣкоторые вопросы. Онъ неглупый, но человѣкъ несовременный. Знаете, что такое современный человѣкъ?

— Знаю... А по-вашему, что такое?

— Нѣтъ, вы напередъ скажите?

— Нѣтъ, вы?

— По-моему человѣкъ нынѣшняго времени — человѣкъ, проводящій идеи настоящія, настоящаго времени.

— Какіе же идеи?

— Мало ли у насъ идей! Идеи бываютъ различныя. Главная идея теперь проводится— это идея правды и равенства между всѣми людьми и полами безъ различія. Вы знакомы съ свѣтской литературой?

— Какъ же.

— Что же вы читали?

— Я читала «Духъ Христіанина».

— Знаете ли вы, что такое литература?

— Вамъ на что?—Надежда Антоновна начинала уже сердиться.

— Все, что печатается въ книгахъ или газетахъ, называется литературой. «Духъ Христіанина» называется духовной литературой. Свѣтская

литература состоитъ изъ свѣтскихъ журналовъ и книгъ, выходящихъ каждый мѣсяцъ, какъ-то «Биліотека для Чтенія» и проч.

— Я «Библіотеку для Чтенія» читала.

— Что вы читали?

— Я читала какой-то романъ,—забыла...

— Знаете вы, что такое романъ?

— Ахъ, Боже мой, да вамъ на что?.. Могу ли я знать все!

— Конечно вы могли бы знать очень много, если бы васъ обучали хорошіе учителя. Васъ кто обучалъ?

— Папаша... папаша у меня очень строгъ.

— Вѣроятно онъ запрещалъ вамъ читать свѣтскія книги?

— Да!

— Это-то вотъ и плохо... Еще одинъ вопросъ, Надежда Антоновна: — какъ вы понимаете слова мужъ и жена?

— Какой вы неотвязчивый, право! Вѣдь вы это знаете, зачѣмъ же меня-то спрашивать?

— Видите ли, въ чемъ дѣло:—завтра ваше просватанье, потомъ скоро свадьба, и вы знаете съ кѣмъ. А такъ какъ быть женой и быть мужемъ вещи важныя, то намъ не мѣшало бы прежде брака серьезно обдумать наше будущее положеніе.

— Что же тутъ думать, коли папашѣ такъ угодно?

— Стало быть вамъ не хочется выйти за меня замужъ?

— Нѣтъ.

— Такъ вотъ что, я такъ и скажу отцу благочинному,что вы не желаете быть моей женой.

Надежда Антоновна замолчала и задумалась.

— Послушайте, Надежда Антоновна, что я вамъ скажу:— человѣкъ я честный и добрый, это знаетъ мое начальство, иначе бы оно не выдало мнѣ свидѣтельства на бракъ. Сюда я ѣхалъ найти невѣсту потому, что здѣсь же и мое мѣсто будетъ... Не смотря на то, что я бѣденъ, я бы могъ найти невѣсту въ городѣ у купца или у кого-нибудь другого; но вы мнѣ понравились, и я рѣшился просить вашей руки у благочиннаго не изъ какихъ-нибудь честолюбивыхъ видовъ, а именно ради васъ, не изъ того, что вы протопопская дочь,—я бы могъ жениться на пономарской дочери,—но мнѣ хочется дать вамъ свободу: со мной вы будете свободны, потому что, понимая женщинъ, я не хочу стѣснять васъ. Если вы не выйдете за меня замужъ, вы выйдете все-таки за какого-нибудь пріѣзжаго студента. Можетъ быть, вы полюбите кого-нибудь здѣсь, что очень можетъ быть,—то наживете себѣ горе, потому что вашъ папаша не выдастъ васъ за здѣшняго чиновника или кого-нибудь другого... Повѣрьте, что все наше сословіе вступаетъ въ бракъ такъ, какъ и я съ вами хочу вступить. Вашъ папаша такъ же женился, Злобинъ тоже, всѣ здѣшніе священники и дьяконы такъ же женились, и такъ же женятся у насъ въ губернскомъ. Что вы скажете на это?

Надежда Антоновна задумалась. Послѣ проповѣди Егора Иваныча она уже иначе смотрѣла на него: онъ начиналъ нравиться ей. Не лицо его ей нравилось, а что-то такое, чего она не могла понять. Отецъ ея и Злобинъ, по уходѣ Егора Иваныча, долго толковали объ немъ, называя его умнымъ человѣкомъ и дивились, какіе нынче молодцы выходятъ изъ семинаріи. За ужиномъ благочинный сказалъ ей:—«ну, Надя, я хорошаго жениха нашелъ тебѣ»,—и какъ она ни дула свои губы за эти слова, однако, подумавъ, пришла къ тому убѣжденію, что лучше выйти замужъ за этого. Хотя онъ и не протопопъ,но ему будетъ почетъ отъ отца, современемъ онъ самъ будетъ протопопомъ. И она рѣшилась выйти за Попова замужъ. Несмотря на суровый нравъ отца, она все-таки уважала его, боялась, думая, что отецъ что̀ скажетъ, то и свято, онъ же въ нѣкоторыхъ случаяхъ особенно добръ для нея. Но все-таки ей не ловко было разстаться съ своимъ намѣреніемъ выйти замужъ за красиваго, и ей хотѣлось покапризничать надъ нимъ, самой узнать, «уменъ ли онъ на сколько-нибудь».

— Повѣрьте, Надежда Антоновна, я буду вамъ хорошій мужъ. Буду любить васъ, и у насъ не будетъ никакихъ непріятностей, какія бываютъ почти въ каждомъ домѣ.

Надежда Антоновна молчитъ.

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Согласны вы за меня замужъ?

— Ахъ, оставьте...— Она убѣжала въ другую комнату.

— Дура!—сказалъ про себя Егоръ Иванычъ.— Она ровно ничего не смыслитъ, а еще протопопская дочь,—ищетъ себѣ Богъ знаетъ кого!

Благочинному онъ ничего не сказалъ про свой разговоръ. Въ этотъ день благочинный заставилъ его сочинять рапортъ владыкѣ.

— Ну, какъ дѣла? — спросилъ Егора Иваныча отецъ.

— Какъ сажа бѣла. Ни тпру, ни ну. Я всяческими манерами поддѣлывался къ ней: съ одной стороны начнешь рѣчь—не понимаетъ, съ другой— скажетъ слово и молчитъ.

— Не сердится?

— Нѣтъ, въ глаза смотритъ.

— Хочется значитъ...

— А впрочемъ она кажется дѣльная,—прихвастнулъ Егоръ Иванычъ.

— Ну, и слава Богу, Егорушко. А я, братъ, вчера у Коровина былъ, тамъ я ночевалъ, сегодня только послѣ обѣда пришелъ. Ну, надѣлалъ же ты тамъ кавардакъ.

— Чего имъ тамъ недостаетъ?

— Эта Лиза сердится, плачетъ; мать ея тоже. А самъ Коровинъ ругаетъ тебя всячески.

— Ну, и пусть ихъ.

Когда пришелъ Андрей Филимонычъ, то Егоръ Иванычъ разсказалъ ему свой разговоръ съ Надеждой Антоновной.

— Теперь вамъ пока надо молчать. Вы ее ничѣмъ не урезоните, она ничего не пойметъ; а вы начните образованіе ея послѣ.

На обрученье собрались Злобины, Егоръ Иванычъ съ отцомъ, который напомадилъ свои уцѣ-

лѣвшіе волосы помадой, городничій, исправникъ, почтмейстеръ, городской голова, письмоводитель и учитель Алексѣевъ. Надежда Антоновна была разодѣта и сидѣла съ матерью, около которой сидѣли Поповы. Послѣ обрученья, причемъ женихъ и невѣста по приказу родителей поцѣловались, вечеръ тянулся скучно: говорили много, но тихо; всѣ вели себя чинно, хотя и выпивали. Даже Иванъ Иванычъ выпивалъ меньше обыкновеннаго. Онъ все поддакивалъ Марьѣ Алексѣевнѣ. Свадьба назначена въ воскресенье.

Дни до свадьбы шли хорошо. Егоръ Иванычъ блаженствовалъ, невѣста уже не косилась на него. Иванъ Иванычъ скучалъ и ходилъ къ протопопу рѣдко, потому что тотъ не говорилъ съ нимъ.

Въ воскресенье утромъ все было готово. Судья обѣщался прислать двухъ лошадей съ коляской Егору Иванычу, а исправникъ—четыре лошади съ двумя колясками для невѣсты, городничій тоже хотѣлъ прислать лошадей. Въ субботу Егоръ Иванычъ сходилъ къ Будрину и попросилъ жену его, Матрену Степановну, быть его посаженой матерью, —она согласилась; также согласился быть шаферомъ семнадцатилѣтній братъ ея, Иванъ Степанычъ Морозовъ, обучающійся въ словесности.

Въ воскресенье Егоръ Иванычъ не пошелъ къ обѣднѣ. Послѣ обѣдни за нимъ прибѣжалъ Егоръ отъ благочиннаго. Егоръ Иванычъ взялъ на прокатъ у одного чиновника—знакомаго очень хорошо Андрею Филимонычу—только-что сшитый сюртукъ, брюки, жилетку, фуражку; манишки и галстухи были у Соловьевыхъ.

— Вы готовы?—спросила его Марья Алексѣевна при входѣ его въ залъ.

— Совсѣмъ.

— Смотрите не ударьте лицомъ въ грязь; чтобы у васъ вѣнецъ не спалъ; свѣчка чтобы ровно съ Надиной свѣчкой горѣла.

— Хорошо. А Надежду Антоновну можно видѣть?

— На что вамъ?

— Да нужно бы сказать кое-что.

— Скажите мнѣ, я ей скажу.

Егору Иванычу хотѣлось только посмотрѣть на невѣсту, и онъ не думалъ любезничать съ ней.

— Что же?

— Да нѣтъ, ужъ, я послѣ скажу.

Марья Алексѣевна ушла. Немного погодя, вошла невѣста въ шелковомъ голубомъ платьѣ съ кринолиномъ, съ распущенными волосами.

— Здравствуйте, Надежда Антоновна.—Егоръ Иванычъ подошелъ къ ней и подалъ руку.

— Мое почтеніе. Что нужно?

— Вы ужъ готовы?

— Да. А вы?

— Какъ видите.

— Въ этомъ-то? Ахъ, срамъ какой! Неужели вы въ этомъ будете стоять со мной въ церкви?

— Что же тутъ худого?

— Я не хочу, чтобы вы въ этомъ вѣнчались. Иначе я убѣгу изъ церкви.

— Дѣло не въ этомъ, а я хочу спросить васъ: охотой вы идете замужъ, или нѣтъ?

— Мнѣ некогда,—сказала невѣста и ушла.

— Вотъ тѣ и разъ!—сказалъ про себя Егоръ Иванычъ.—Комедія не комедія, а чортъ знаетъ что такое. Жаль, что я не поѣхалъ съ Троицкимъ... Ну, да была не была—женюсь.

Благочинный наговорилъ Егору Иванычу очень много: что онъ выдаетъ дочь единственно изъ уваженія къ ректору, и потому онъ не долженъ выходить изъ послушанія благочиннаго, какъ начальника и какъ отца невѣсты; что жену онъ долженъ уважать, какъ дочь благочиннаго; что она дѣлаетъ большую жертву, выходя за него; что отецъ его, Иванъ Иванычъ, долженъ вести себя чинно и знать только свою комнату и къ нему, благочинному, не долженъ соваться, иначе благочинный прогонитъ его, какъ лишняго человѣка; что онъ, если будетъ учителемъ, долженъ учить такъ, какъ будетъ приказывать благочинный, и проч. Свадьба назначена въ семь часовъ вечера.

Къ семи часамъ вечера народъ толпами валилъ въ церковь. По распоряженію тысяцкаго головы, городничимъ были посланы казаки, чтобы въ церковь пускать только однихъ чиновниковъ, а прочихъ гнать вонъ. Поэтому народа около церкви много терлось. Егоръ Иванычъ сидѣлъ дома со своимъ шаферомъ и отцомъ, расфранченный и надушенный. Сердце его билось. Ему почему-то страшно казалось ѣхать въ церковь; онъ пожалуй готовъ былъ отказаться отъ женитьбы.

— Что, Егорушко, запечалился? не на смерть вѣдь готовишься, — сказалъ отецъ, тоже напомаженный.

— Тяжело, тятенька, съ холостой жизнью разставаться.

— Полно глупить-то!

— Скверно, что я свою невѣсту не узналъ хорошенько.

— Ну, не тужи...

Пріѣхали лошади, отецъ благословилъ сына иконой.

— Ну, съ Богомъ, Егорушко. Дай Богъ тебѣ счастья!..—Старикъ прослезился.

Сынъ сѣлъ съ шаферомъ въ коляску.

— Ну, съ Богомъ. Я побреду къ благочинному.

— Не рано ли, тятенька?

— Я тамъ въ саду посижу.

— Смотрите, не усните только.

У церкви была страшная давка. Лишь только подъѣхалъ Егоръ Иванычъ къ церкви, народъ взволновался:—«женихъ, женихъ!»—говорили вслухъ.

Говорить про вѣнчанье не стóитъ, потому что нѣтъ человѣка, который бы не былъ знакомъ съ этимъ предметомъ. Невѣста, одѣтая въ бѣлое, стояла печальная и на Егора Иваныча не глядѣла.

Когда мужъ и жена сѣли въ карету, Егоръ Иванычъ сказалъ женѣ.

— Вотъ, Надежда Антоновна, мы и обвѣнчались.

Жена молчитъ.

— Теперь уже не воротить.

Она все молчитъ.

— Что же вы, Надежда Антоновна, молчите?
— Что же говорить мнѣ?
— А вѣдь сегодня великій для насъ день.
— Можетъ быть, для васъ, а не для меня.
— Почему?
— Такъ; воля папаши...
— Стало быть, вы отдаетесь мнѣ безсознательно, единственно изъ уваженія къ вашему отцу?
— Да.
— Глупо! Но, Надежда Антоновна, вѣдь вы жена мнѣ.
— Жена!
— А обязанность жены знаете?
— Неужели я стану работать на васъ?
— Нѣтъ. Будете ли вы любить меня?
— Не знаю.

Егоръ Иванычъ обнялъ ее и поцѣловалъ. Жена толкнула его, сказавъ:—«отстаньте!»

Начался пиръ. Благочинный съ женой веселились, гости тоже, молодые скучали, хотя и сидѣли рядомъ. Молодымъ нечего было говорить другъ съ другомъ и на поздравленія они отвѣчали поклономъ или словами:—«покорно благодаримъ». Гости увеселялись органомъ и подъ музыку его танцовали въ честь молодыхъ, хотя благочинный терпѣть не могъ никакихъ плясокъ и свѣтскихъ пѣсенъ. Больше всѣхъ веселился Иванъ Иванычъ. Никто такъ не былъ веселъ, какъ онъ. Онъ ко всѣмъ лѣзъ.

— Что же вы-то?—обратился онъ къ судьѣ, показывая рукой на столъ, на которомъ стояли вино и закуски.
— Я уже пилъ.
— Ахъ, дуй те горой! Пей, и я выпью!..
— Не могу, отецъ дьяконъ.
— А я на тебя наплюю... А ты не хочешь пить за моего Егорка. А?
— Да, говорятъ вамъ, пилъ.

Старикъ къ другому подходитъ.

Андрей Филимонычъ тоже скучалъ.

— Эхъ, Иванъ Иванычъ, скучно! То-ли было на моей свадьбѣ!
— Нельзя, вишь ты... Все знать собралась.
— А мы попляшемъ.
— Давай. А напредки выпьемъ, вѣдь за вино-то не деньги платить.

Выпивъ водки, Иванъ Иванычъ съ Андреемъ Филимонычемъ пустились плясать, припѣвая: «Ахъ вы, сѣни мои, сѣни». Гости хохочутъ.

— Ужъ не посрамлю себя! — и старикъ снова пляшетъ.
— Иванъ Иванычъ, ноги отшибешь! — говоритъ благочинный, хохоча.

«Ты лети, лети, соколикъ, и высоко и далеко...», поетъ старикъ и пляшетъ. Потомъ подходитъ къ сыну и цѣлуетъ его.

— Ахъ ты, золото мое!..
— Ахъ ты, пушечка моя!—цѣлуетъ онъ молодую.—Кралечка! Вырости-ко ты экова сына—вырости, матка... — И онъ не знаетъ, какую любезность сказать молодой.

Черезъ часъ Иванъ Иванычъ скрылся. Объ немъ такъ и позабыли. Гости разошлись. Молодыхъ повели спать. Смотрятъ—Иванъ Иванычъ спитъ на полу около кровати, свернувшись кренделемъ, и подушки нѣтъ.

— Ахъ, безстыдникъ какой! — сказалъ одинъ шаферъ.
— Невѣжа!—сказала молодая.
— Тятенька, пойдемте въ другую комнату, — сказалъ сконфуженный Егоръ Иванычъ.
— Зачѣмъ?
— Здѣсь наша спальня.
— А я что? Я развѣ не отецъ тебѣ?
— Тятенька, уйдите, мнѣ спать хочется.
— Экая фря... А я хочу здѣсь остаться!

Вошелъ благочинный.

— Иванъ Иванычъ!

Старикъ ушелъ спать въ садъ.

Есть впрочемъ счастливцы, которые блаженствуютъ хотя въ первые дни супружества, женившись и вышедши замужъ въ родѣ Егора Иваныча и Надежды Антоновны.

Въ Столешинскѣ Егоръ Иванычъ прожилъ съ женой цѣлый мѣсяцъ. Благочинный уступилъ ему на время три комнаты въ своемъ домѣ, а Ивану Иванычу отдали прихожую къ этимъ комнатамъ, но онъ въ ней не жилъ, а устроился въ первой комнатѣ рядомъ съ прихожей. Отношенія молодыхъ были такія, что со стороны можно было думать, что они живутъ, какъ знакомые, и что каждому чего-то недостаетъ. Егоръ Иванычъ мучился съ женой, стараясь развить ее на сколько-нибудь, допытываясь, любитъ она его, или нѣтъ; говорилъ ей любезности, какъ умѣлъ; жена только говорила: «отстань, безстыдникъ» и проч., или: «я мамашѣ пожалуюсь». Вставали они поздно; пили чай всѣ вмѣстѣ, т. е. съ благочиннымъ, женой его и Иваномъ Иванычемъ; потомъ благочинный поручалъ ему перебрать разныя бумаги, или прочитать донесенія, сочинить предписанія, рапорты. За обѣдомъ сходились всѣ, послѣ обѣда спали, потомъ чай, послѣ чаю какіе-нибудь разговоры, касающіеся семейной жизни, потомъ ужинъ и ложились спать. Надежда Антоновна бо̀льшую часть дня проводила съ матерью, или въ своей комнатѣ. Съ матерью она что-нибудь перебирала, что-нибудь говорила; въ своей комнатѣ сидѣла или лежала, о чемъ-то думая. Егору Иванычу хотѣлось дать ей какую-нибудь работу, чтобы она не скучала, но онъ никакой работы не могъ пріискать ей, да она и не хотѣла ничего дѣлать. Досталъ онъ и свѣтскихъ книгъ ей, она возьметъ книгу, начнетъ читать и положитъ. Сталъ Егоръ Иванычъ самъ читать книги вслухъ; она или дремлетъ, или спроситъ его о какомъ-нибудь постороннемъ предметѣ, или уйдетъ. Егоръ Иванычъ скучалъ, скучалъ болѣе отъ того, что не умѣлъ говорить, не зналъ, какъ развлечь жену; онъ даже шутить не умѣлъ. Пойдутъ они гулять по городу — говорить нечего, и ходятъ молча. Придетъ Злобинъ или жена его, и тутъ не весело. Злобинъ хочетъ показаться умнымъ, споритъ; Егоръ Иванычъ находитъ, что онъ человѣкъ отсталый и ему не пара; жена его сплетничаетъ и наказываетъ

*

Надеждѣ Антоновнѣ, какъ нужно обращаться съ мужемъ, т. е. не уважать его. Егоръ Иванычъ пробуждался рано. Пробудится онъ, жена спитъ. Онъ полежитъ и пойдетъ къ отцу, который сидитъ на улицѣ у воротъ. Поговоритъ съ нимъ и пойдетъ въ спальню, жена все спитъ. Поспѣлъ чай, онъ разбудитъ жену, она говоритъ: «не хочу»—и опять спитъ. Встанетъ она поздно и проситъ чаю; если чай не готовъ, она сердится на мужа: отчего нѣтъ чаю теперь.

— Да вѣдь я же будилъ тебя!

— Мало ли что будилъ; я хочу теперь пить.

— Самоваръ поставленъ.

— А я не хочу дожидаться.—И не станетъ пить, и капризится цѣлый день. Хотѣлъ Егоръ Иванычъ проучить ее, т. е. лишить чаю на цѣлый день, но ему жалко было жены. «Пусть покрасуется, надоѣстъ», думалъ онъ. Надежда Антоновна жила барыней и ровно ничего не дѣлала. Скажетъ ей Егоръ Иванычъ:

— Надежда Антоновна, вамъ скучно?

Она молчитъ.

— Надежда Антоновна!

— Да что вы пристали ко мнѣ?

— Зачѣмъ же вы вышли за меня замужъ?

— Зачѣмъ вы сватались?

— Вы бы могли отказаться, тѣмъ болѣе, что я васъ раньше спрашивалъ: охотой ли вы выходите за меня? Мало ли что вашъ папаша приказываетъ вамъ.

Надежда Антоновна начинаетъ плакать.

— Объ чемъ же вы плачете?

— Отстаньте, Егоръ Иванычъ. Уйдите!

Егоръ Иванычъ отойдетъ отъ жены и смотритъ на нее.

— Надежда Антоновна, разойдемтесь на время.

— Какъ разойдемся?

— Вы спите въ спальной, а я здѣсь. Мы не будемъ сходиться къ обѣду, чаю и ужину, не будемъ видѣться другъ съ другомъ.

— Зачѣмъ?—она опять плачетъ.

— Наденька! Зачѣмъ ты плачешь?—а дальше не знаетъ, что сказать ей.

Разъ Егоръ Иванычъ подслушалъ разговоръ жены съ матерью.

— Ну, Надя, каковъ твой муженекъ?

— Уродъ, мамаша.

— Полно, Надя. Онъ смирный такой: онъ уважаетъ тебя.

— Онъ все по-своему хочетъ дѣлать. Никакого покоя нѣтъ отъ него...

Мать за обѣдомъ напустилась на Егора Иваныча:

— Мы, Егоръ Иванычъ, не для того отдали вамъ свою дочь, чтобы вы ее мучили.

— Я Наденьку не мучу. Надежда Антоновна, чѣмъ же я мучу васъ?

— Всѣмъ вы меня мучите.

— Смотри, Егоръ Иванычъ, чтобъ это было въ послѣдній разъ! Слышишь? — сказалъ строго благочинный. Егоръ Иванычъ не могъ оправдаться и не сталъ трогать жену.

Наконецъ нужно было ѣхать въ губернскій. Егоръ Иванычъ сталъ звать съ собой жену, она не соглашается ѣхать. Однако по резонамъ и приказу отца она согласилась. Благочинный написалъ два письма, одно къ ректору, въ которомъ онъ благодарилъ за Попова, а другое секретарю консисторіи, въ которомъ просилъ, чтобы Егора Иваныча поскорѣе отправили въ Столешинскъ. Благочинный далъ Егору Иванычу рясу, подрясникъ, шляпу и сто рублей деньгами, и наказалъ, какъ нужно вести тамъ дѣла, также далъ Егору Иванычу свою повозку, и они, т. е. Егоръ Иванычъ съ женой и отцомъ, отправились въ губернскій городъ.

Лѣтомъ въ губернскомъ городѣ у мѣщанъ квартиры стоятъ пустыя, потому что семинаристы уѣзжаютъ къ отцамъ, а другихъ постояльцевъ не находится, вѣроятно потому, что эти комнаты слишкомъ нехороши. Квартиры занимаются семинаристами въ первыхъ числахъ сентября, а такъ какъ Егоръ Иванычъ пріѣхалъ уже въ концѣ сентября, то его квартира была отдана двумъ философамъ. Троицкій, какъ сказалъ хозяинъ, уѣхалъ въ какой-то университетъ, и его комната тогда была отдана подъ постой семинаристовъ. Егоръ Иванычъ нашелъ квартиру у мѣщанина Удавина, Василья Михайлыча. Онъ нанялъ на мѣсяцъ за четыре рубля двѣ комнаты. Надеждѣ Антоновнѣ квартира эта показалась слишкомъ грязною.

— Я, Егоръ Иванычъ, не могу жить въ такой берлогѣ.

— Ничего, Наденька. Другія квартиры слишкомъ дороги, а здѣсь мы проживемъ не больше, какъ недѣли двѣ.

— Лучше дороже заплатить, чѣмъ въ этой жить.

— Надо, матушка, деньги беречь: здѣсь расходовъ много будетъ.

Сколько ни ворчала жена, а Егоръ Иванычъ не перемѣнилъ таки квартиры.

На другой день Егоръ Иванычъ отправился въ семинарское правленіе. Письмоводитель Василій Кондратьевъ сказалъ, что ректоръ переведенъ въ семинарію и назадъ тому пять дней уѣхалъ.

— Куда уѣхалъ Троицкій?

— Онъ уѣхалъ съ Кротковыми въ Петербургъ. Старшій Кротковъ въ медицинскую академію хочетъ попасть, а младшій въ духовную. Одинъ только Троицкій въ университетъ хочетъ.

— А гдѣ живетъ секретарь Крюковъ? — Василій Кондратьевичъ разсказалъ.

Секретарь, прочитавши письмо благочиннаго со вложеніемъ нѣсколькихъ ассигнацій, любезно принялъ Егора Иваныча.

— Не безпокойтесь, Егоръ Иванычъ, теперь все будетъ зависѣть отъ меня. Завтра я пойду къ преосвященному и доложу объ васъ. А какъ только посвятятъ васъ въ священники, я тотчасъ же велю написать указъ, и этотъ указъ вы можете съ собою взять. Да! Антонъ Иванычъ прислалъ сюда рапортъ и при немъ прошеніе Полуектова, священника Егорьевской церкви. Полуектовъ проситъ, чтобы его перевели въ Знаменскую церковь, а вашъ тесть—чтобы васъ назначили въ Егорьевскую. Въ Егорьевской вы будете одинъ священникъ.

— Да, мнѣ Антонъ Иванычъ совѣтовалъ.

— Я завтра скажу преосвященному. А вы все-таки къ нему завтра явитесь.

На другой день Егоръ Иванычъ явился къ преосвященному.

— Что тебѣ надо?

— Я Поповъ.

— Мѣсто просишь?

— Я, в. в-о, тотъ самый Поповъ, котораго рекомендовалъ в. в-ву отецъ ректоръ.

— А, я и забылъ. Женился?

— Точно такъ.

— На комъ?

— На дочери благочиннаго Тюленева.

— Хорошо. Кто въ нынѣшнее воскресенье назначенъ къ посвященію?—спросилъ преосвященный письмоводителя.

— Діаконъ Егоровъ во іереи и кончившій курсъ семинаріи Крестовоздвиженскій во діаконы.

— А въ Покровъ?

— Кончившій курсъ семинаріи Каріоновъ во діаконы.

— Въ слѣдующее воскресенье за Покровомъ назначить Попова.

— Слушаю-съ.

— Ты будешь посвященъ черезъ двѣ недѣли.

Эти двѣ недѣли прошли скучно для мужа и жены. Главное, у нихъ ни въ чемъ не было согласія: захочетъ Егоръ Иванычъ купить чего-нибудь, жена денегъ не даетъ; позоветъ ли онъ жену пройтись, она нейдетъ: «мнѣ неловко, совѣстно»,—говоритъ она. Егоръ Иванычъ почти каждый день ходилъ, то въ семинарію, то къ товарищамъ; товарищи поздравляли его съ женитьбой и съ полученіемъ мѣста, просили водки; онъ покупалъ; ходили къ нему первую недѣлю, пили, цѣловались, кричали и пѣли, жена сердилась.

— Что это, Егоръ Иванычъ, за сумасброды такіе! Зачѣмъ это они ходятъ сюда?—говорила Надежда Антоновна мужу послѣ гостей.

— Это мои товарищи.

— Хороши товарищи!

— Это все умные люди.

— А я не хочу, чтобы они ходили къ намъ. Если они будутъ ходить, я уѣду къ папашѣ.

Егоръ Иванычъ никакъ не могъ уговорить жену, чтобы товарищи его ходили къ нему, хотя такъ, поговорить. Она ни за что не соглашалась, и семинаристы не стали ходить къ нему.

Егоръ Иванычъ все-таки находилъ развлеченіе, но Надеждѣ Антоновнѣ не было никакого развлеченія. Встанетъ она поздно, спроситъ самоваръ у Егора Иваныча, Егоръ Иванычъ самъ принесетъ самоваръ, за чаемъ разговариваютъ или о посвященіи, или о городѣ, вспоминаютъ Тюленева, послѣ чаю она сидитъ дома, больше одна, скучаетъ. Придетъ хозяйка, заговоритъ что-нибудь. Надеждѣ Антоновнѣ тошно слушать хозяйку. Послѣ обѣда спитъ, тамъ чай, опять скука послѣ чаю. Она теперь скучала даже, что нѣтъ долго Егора Иваныча.

— Какъ ты, Егоръ Иванычъ, долго. Я ждала, ждала... скука такая, что не приведи Богъ!

Послѣ этого Егоръ Иванычъ просиживалъ съ ней цѣлый день, полдня она была веселая, остальное время скучала.

— Надя, пойдемъ въ театръ,—сказалъ Егоръ Иванычъ однажды вечеромъ.

— Зачѣмъ?

— Тамъ ты людей посмотришь. Богатыхъ людей увидишь, главное, ты увидишь, какъ изображаютъ жизнь.

— Можно ли намъ?

— Теперь можно еще.

— Пожалуй.

Они пошли въ амфитеатръ. Играли какую-то комедію. Надеждѣ Антоновнѣ все понравилось въ театрѣ: и музыка, и люди, и представленіе.

— Ну что, Надежда Антоновна, хорошо?

— Хорошо, Егоръ Иванычъ.

— Мы часто будемъ ходить.

И стали они ходить въ театръ. Теперь она начинала любить Егора Иваныча.

Наступилъ четвергъ. Егоръ Иванычъ пошелъ къ преосвященному. Онъ благословилъ Егора Иваныча, велѣлъ ему сходить къ эконому и протодьякону, чтобы тѣ приготовили его къ посвященію, а наканунѣ посвященія прочитать за всенощной шестопсаліе.

Экономъ сказалъ Егору Иванычу, чтобы онъ пришелъ къ нему для исповѣди въ субботу, а протодьяконъ далъ записку, на которой написано было, что̀ ему дѣлать при посвященіи.

— Вы, Егоръ Иванычъ, не робѣйте. Закусочку только хорошую сдѣлайте.

— Подрясникъ надѣвать, или нѣтъ, отецъ протодьяконъ?

— Нѣтъ, можно и такъ. Впрочемъ, утромъ, послѣ молитвъ, можете надѣть подрясникъ.

Егоръ Иванычъ радуется и боится, что его будутъ посвящать при народѣ. Жена тоже радуется и не вѣритъ.

— Ты, поди, все обманываешь?—говорила она.

— Нѣтъ, Надя, скоро... Все сердце издрожало.— Онъ чуть было не сказалъ, что оно не дрожало такъ передъ свадьбой.

— Не тужи, Егорушко, Богъ не безъ милости,— замѣтилъ отецъ.

Послѣ посвященія въ дьяконы и священники Егоръ Иванычъ дѣлалъ обѣды. На послѣднемъ обѣдѣ у него народу было много. Тутъ были и каѳедральные священники, и дьяконы разныхъ церквей, секретарь и столоначальникъ консисторіи Поповъ. Веселились и пили много. Иванъ Иванычъ плясалъ и цѣловалъ то Егора Иваныча, то Надежду Антоновну. Надежда Антоновна тогда была весела, не смотря на буйство гостей.

Егоръ Иванычъ ходилъ по городу уже въ рясѣ и въ очкахъ.

Жена его долго смѣялась надъ очками, но потомъ привыкла къ физіономіи Егора Иваныча, который очень важничалъ въ своемъ нарядѣ.

— Вотъ, Надя, я и священникъ.

Жена говорила только «да».

Глумовы.

I.

Таракановскій чугунно-литейный и мѣдно-плавильный заводъ съ Круглой горы представляетъ видъ разбросаннаго шестиугольника. Какъ разъ подъ самой горой справа прудъ, а въ немъ есть два маленькихъ острова, поросшіе ивой; съ южной стороны вытекаетъ изъ пруда небольшая рѣчка, сперва скрывающаяся въ лѣсу, а потомъ правѣе идетъ по голой, покатистой мѣстности и точно убѣгаетъ въ гору съ сѣроватою почвою,—гору безъ лѣсовъ и кустарниковъ, какъ и гора Круглая. Немного лѣвѣе, какъ будто подъ самой горой, а на самомъ дѣлѣ въ полуверстѣ отъ горы, построены двѣ четыреугольныя каменныя фабрики съ красными крышами, четыре длинныхъ зданія на заднемъ планѣ, потомъ впереди фабрикъ плотина съ вешняками. Но эти фабрики кажутся довольно мизерными сравнительно съ остальною массою пестрыхъ и черныхъ домовъ съ высокими крышами и маленькими садиками, сплотившимися такъ тѣсно другъ съ другомъ, что трудно съ перваго раза найти въ этой массѣ какой-нибудь промежутокъ. Но это только для перваго впечатлѣнія. Если же постоять подольше и приглядѣться, то начинаетъ проясняться вотъ что: заводскіе дома построены большею частью на холмистыхъ мѣстахъ, пересѣкаемыхъ ручейками, лѣтомъ высыхающими, а весною причиняющими своимъ разливомъ значительные ущербы въ домашнемъ хозяйствѣ таракановцевъ. А такъ какъ холмы никто не трудился сравнивать и они, согласно законамъ природы, устроились какъ пришлось, то отъ этого происходитъ то, что съ горы нельзя различить промежутковъ между домами. Здѣсь не мѣшаетъ еще прибавить, что когда на горѣ существовала будка, то ни одинъ караульный не могъ положительно сказать въ случаѣ пожара, чей горитъ домъ, потому что ему казалось всегда пламя не въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно было. Это недоумѣніе объясняется безалаберной кучей строеній. Почти въ серединѣ массы домовъ виднѣется голубая церковь, около церкви лѣсъ; правѣе виднѣется что-то похожее на вѣсы, потомъ длинное одноэтажное бѣлое зданіе съ садомъ; рынка же на площади вовсе не видать. Берега пруда съ правой стороны высокіе, крутые, потому что, какъ говорятъ таракановцы, гора Круглая пустила по правому берегу пруда отростокъ. Этотъ отростокъ, впрочемъ, имѣетъ на себѣ густой сосновый и березовый лѣсъ, куда лѣтомъ бѣдные таракановцы ходятъ за малиной, а богатые ѣздятъ пить чай, закусывать, однимъ словомъ—благодушествовать подъ зеленью. Особенныхъ видовъ въ правой сторонѣ нѣтъ: лѣсъ и лѣсъ, то горы, поднимающіяся высоко, то холмы, чуть-чуть виднѣющіеся въ промежуткахъ лѣса, то гдѣ-нибудь лѣсъ горитъ,—и вся эта масса съ лѣсомъ и горами наконецъ точно упирается въ небо, какъ будто тутъ ей и конецъ. Налѣво же къ пруду выходятъ огороды съ банями безъ крышъ, построенными ближе къ пруду для того, чтобы лѣтомъ было удобнѣе изъ бани окунуться въ воду, а зимою на берегу пруда охладиться, что, впрочемъ, многимъ дорого обходится, потому что съ пруда часто дуетъ рѣзкій холодный вѣтеръ...

Заводъ, вмѣстѣ съ людьми, принадлежитъ частному лицу (мы взяли нѣсколько лѣтъ назадъ). Поэтому у обитателей завода особый характеръ, отличительный отъ другихъ человѣческихъ разрядовъ тѣмъ, что мужчины—преимущественно рабочіе на заводѣ: рабочіе въ рудникахъ, рабочіе въ лѣсахъ, рабочіе на фабрикахъ. За эту работу въ старое время они получали провіантъ, имѣли покосы, на господскій счетъ строили дома и пользовались нѣсколькими свободными днями въ году. Всѣ они управлялись своимъ начальствомъ, тоже крѣпостными людьми; начальниковъ у нихъ было много: десятникъ, сотникъ, нарядчикъ, штейгеръ, урядникъ, приказчикъ. Послѣднихъ бывало и по два въ заводѣ, и они были главными рычагами всего заводскаго дѣла. Выше приказчика былъ управляющій, служившій заводовладѣльцу по найму и замѣнявшій своею личностью владѣльцевъ, которые на заводъ никогда не заглядывали. Случалось, что господа дѣлали управляющими и своихъ крѣпостныхъ,

но рѣдко. А такъ какъ надъ рабочими постоянно существовало свое начальство, крѣпостное, то у таракановскаго заводоуправленія существовали свои домашніе законы — словесныя или письменныя приказанія и наставленія. Тѣсно связанные съ внутренней обстановкой жизни рабочаго люда, эти законы вошли въ обычай каждаго человѣка, который ни возражать имъ, ни противиться не смѣлъ, а даже самъ, въ семейномъ своемъ быту, примѣнялъ эти законы къ дѣлу.

Таракановцы—народъ рабочій, и чѣмъ они отличаются отъ другихъ рабочихъ, такъ это развѣ тѣмъ, что въ прежнее время они должны были работать всякую работу, гдѣ и что̀ имъ дадутъ. Мало-по-малу у таракановцевъ сложился характеръ, состоящій въ томъ, чтобы надуть свое крѣпостное начальство, выйти сухимъ изъ воды, сгрубить кому угодно, осмѣять того, кто поддается, обругать въ сердцахъ того, кто больно жметъ, работать подобно машинѣ и въ свободное время отводить горе за водкой или пивомъ въ дружеской компаніи, въ которой можно и подраться. Отъ этого и оттого, что рабочіе работаютъ по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, у нихъ существуютъ товарищества, основанныя на томъ общемъ интересѣ, чтобы работать вмѣстѣ, пить вмѣстѣ, жить дружно, въ случаѣ промаха кого-нибудь изъ товарищей, напримѣръ въ кражѣ чугуна, мѣди, въ порубкѣ лѣса, не выдавать своего,—на основаніи того заключенія, что крѣпостное начальство, желая откупиться на волю, воруютъ гдѣ сотнями рублей, а гдѣ и больше. Не мѣшаетъ замѣтить, что большинство рабочихъ были раскольники, и хотя со временемъ раскольники слились съ православными, но и теперь еще можно найти настоящихъ раскольниковъ на Козьемъ Болотѣ; у нихъ сложился своеобразный заводскій взглядъ на разныя вещи, не говоря уже о предразсудкахъ и разныхъ суевѣріяхъ. Книгъ никто изъ рабочихъ не читалъ, потому что книгъ не было, да если бы и были, то читать умѣли немногіе, выучившіеся самоучкой, и поэтому у таракановцевъ существовала съ испоконъ вѣку практика, а о теоріи они и понятія не имѣли. На основаніи вотъ этой-то практики они и строили разныя убѣжденія, заключенія и мнѣнія, а какъ практика все-таки вертѣлась на томъ, чтобы работать, потому что безъ работы голоднымъ насидишься, то каждая рабочая артель горячо отстаивала свое занятіе: кайловщикъ, рабочій въ рудникахъ, хотя и ненавидѣлъ свое занятіе, потому что оно очень тяжело и уноситъ много здоровья, однако не любилъ слесаря, подзадоривалъ на драку куренного рабочаго и водилъ вообще компанію съ рудничными рабочими; слесарь, человѣкъ большею частью работающій дома, съ презрѣніемъ относился къ фабричному рабочему и подзадоривалъ на драку портного или сапожника, надѣясь въ то же время на свою силу и ловкость, и т. д.

Женскій полъ занятъ преимущественно хозяйственными домашними дѣлами, рожденіемъ и кормленіемъ дѣтей. Зная, что мужъ въ домѣ глава, хозяинъ и кормилецъ, жена боится въ чемъ-нибудь огорчить мужа, потому что хоть какъ ни дери горло (а таракановскія женщины очень голосисты), а съ мужемъ не справишься. Но все-таки нельзя сказать того, чтобы таракановская женщина была забита въ конецъ. Правда, ея умственное развитіе останавливается при выходѣ замужъ или при рожденіи второго ребенка, но вѣдь и мужья тоже недалеки въ умственныхъ способностяхъ, хотя далеко превосходятъ женщинъ доказательствами, называя притомъ женскій языкъ балалайкой. Стоитъ только послушать, какъ соберутся три женщины и о чемъ-нибудь разговариваютъ; мало того, что онѣ голосятъ безъ умолку, нѣтъ, каждой хочется перекричать остальныхъ, ввернуть такое слово, чтобы остальныя рты разинули, и хорошо еще, если онѣ не передерутся; а между тѣмъ весь этотъ крикъ происходитъ оттого, что каждой хочется показать другой, что и она умна, и что мужъ ея не пѣшка какая-нибудь, или что у нея, слава Богу, не одинъ ребенокъ. Мало этого: мужъ, не посовѣтовавшись съ женой, не заведетъ чего-нибудь для хозяйства, не дастъ денегъ въ долгъ, не позоветъ гостей на праздникъ. Кромѣ этого, такъ какъ тѣ мужья, которые работаютъ въ рудникахъ, домой возвращаются черезъ недѣлю или черезъ двѣ недѣли, а тѣ, которые работаютъ на фабрикахъ, — поздно вечеромъ, то жены въ домахъ дѣлаются полными хозяйками, и мужья, возвратившись домой, не имѣютъ права вмѣшиваться въ женское хозяйство; такъ напримѣръ, если пропадетъ корова — дѣло женское; мужъ только побранитъ жену за слабый надзоръ; то же и съ курицами, и съ овечками; пропади же лошадь въ отсутствіе мужа - мужъ здорово исколотитъ жену; потеряйся сапогъ или шило — женѣ быть битой. И все это объясняется очень просто: мужъ — хозяинъ всего своего имущества и изъ любви къ женѣ предоставляетъ ей право не только безапелляціонно распоряжаться хозяйствомъ, но и, такъ сказать, даритъ ей для забавы корову, курицъ и овечекъ, отъ которыхъ большею частью пользуются его дѣти. Умѣетъ она владѣть коровой — владѣй, а не умѣетъ — сама виновата; пропала—покупай на свои деньги.

Занятій у обоего пола таракановцевъ очень много; но эти занятія обезпечиваютъ ихъ кое-какъ. Работать на сторону приходится очень немногимъ мужчинамъ, а женщины работаютъ только на свои семейства, да и то, какъ говорится, бѣгаетъ, бѣгаетъ—всѣ ноги обѣгаетъ, еле-еле до постели доберется. Жизнь женщины на заводѣ все равно что колесо, медленно двигающееся, и только развѣ какой-нибудь важный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ, случай явится въ какой-нибудь день,— только тогда это колесо пріостановится не надолго. Зато и бываетъ же отдыхъ этому колесу,—такой, гдѣ женщина не только вполнѣ являетъ себя хозяйкой дома, но даже дѣлается госпожей надъ всѣмъ домомъ.—Это заводскіе праздники.

II.

Много разныхъ Глумовыхъ въ таракановскомъ заводѣ: Глумовъ приказный въ главной заводской кон-

торѣ, есть Глумовъ портной, есть Глумовъ нарядчикъ, пятокъ другихъ Глумовыхъ уже находится на спокоѣ, а пять еще находится въ работахъ или въ самомъ заводѣ, или въ другихъ заводахъ, подвѣдомственныхъ таракановскому; и большинство этихъ Глумовыхъ въ родствѣ между собою не состоитъ. Но всѣ эти Глумовы—ничто въ сравненіи съ извѣстнымъ родомъ Глумовыхъ,—родомъ Якова Петровича. Вотъ этихъ-то Глумовыхъ знаетъ почти весь заводъ, начиная съ маленькихъ ребятъ. Потомки Якова Глумова гордились своимъ предкомъ, потому что онъ сумѣлъ одинъ поставить крестъ на соборную колокольню губернскаго города. Дѣло было такъ: Яковъ Глумовъ обладалъ порядочной силой и ловкостью; онъ занимался преимущественно постройкой домовъ. Пристрастившись къ этому занятію, онъ ушелъ на заработки, и вотъ въ губернскомъ городѣ ему представился случай отличиться: нужно было поставить крестъ на соборной колокольнѣ. Всѣ рабочіе, участвовавшіе при построеніи собора, затруднялись поднять крестъ на колокольню; недоразумѣніе состояло въ томъ, какимъ образомъ подняться по шпицу, имѣющему вверху пространства двѣ четверти ширины. Другое бы дѣло—изъ нутра продѣть; но изъ нутра неловко, да и одному не справиться, а двоимъ тѣсно. И странное дѣло: четыре человѣка занимались обивкой шпица, но никто изъ нихъ, кромѣ Якова Глумова, не рѣшился исполнить такое трудное дѣло, потому что всякій боялся: ну, какъ слетитъ сверху! Колокольня стояла два мѣсяца безъ креста; начальство вызывало охотниковъ, предлагало большія деньги, но желающихъ не являлось, а Яковъ Глумовъ—еще за два мѣсяца хваставшійся товарищамъ и горожанамъ на работѣ, въ питейныхъ и на рынкѣ, что какъ ни помаются, а безъ него не подымутъ креста — помалчивалъ. Онъ былъ человѣкъ гордый и ждалъ, что за нимъ придутъ, ему поклонятся. И онъ не ошибся. Явился архитекторъ, разсыпался въ любезностяхъ, наговорилъ кучу вздору и сталъ упрашивать Глумова. «Нѣтъ», отвѣчалъ Глумовъ, «я—человѣкъ семейный и за што же я стану жизнь свою губить?»—«Пять тысячъ назначено тому, кто подниметъ крестъ».—«Я разѣ пять тысячъ стою своимъ дѣтямъ: дѣти отъ меня науку только-что начали примать». Наконецъ уломали кое-какъ Глумова взяться за дѣло. Назначенъ былъ день, народу къ собору собралось чуть ли не весь городъ, да еще пріѣзжихъ сколько понаѣхало. Лѣса съ колокольни еще не были убраны до колоколовъ, а выше—лѣсовъ не было. Крестъ стоялъ у перилъ. Но Якова Глумова не было. Наконецъ явился и онъ. Это былъ низенькій человѣкъ, съ блѣднымъ лицомъ, одѣтый очень просто. «Четыре человѣка со мной!»—крикнулъ Яковъ Глумовъ, гордо озирая праздную толпу,—и пошелъ. Черезъ полчаса онъ былъ на колокольнѣ, полчаса его не было видно, черезъ часъ онъ явился на колокольнѣ и кричалъ стоявшимъ на лѣсахъ рабочимъ: «привязывайте крестъ!», но такъ какъ они возились долго, то онъ спустился самъ и самъ обвязалъ крестъ, какъ нужно. Потомъ онъ привязалъ крестъ на спину и, гдѣ задѣвая за крышу, гдѣ по веревкѣ, въ полчаса добрался до шпица. Отдохнувъ немного, онъ въ пять минутъ очутился на верхушкѣ шпица и сѣлъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Это очень удивило народъ. Когда же онъ спустился со шпица, его осыпали разспросами: какимъ образомъ могъ онъ сидѣть на шпицѣ; но онъ отвѣчалъ: «это дѣло мое». Собравъ много денегъ, Глумовъ сталъ гулять, и хотя городское начальство сначала поблажало герою, но наконецъ дурачествамъ Глумова не было границъ, и его принуждены были послать въ таракановскій заводъ, гдѣ онъ еще больше сталъ безчинствовать, на основаніи того, что онъ—герой и героемъ его прозвали большіе люди.

Этотъ Глумовъ, какъ говорятъ, сгорѣлъ съ вина, и послѣ его смерти не осталось ни копѣйки денегъ сыновьямъ и дочерямъ.

Сыновья Глумова пошли въ отца, но имъ, подобно отцу, героями не случилось быть, а приходилось пользоваться отцовской славой, на основаніи которой одинъ изъ братьевъ былъ даже выбранъ Козьимъ Болотомъ въ старшины, т. е. въ начальники надъ раскольниками; но это начальство продолжалось недолго: его посадили въ острогъ и сослали въ каторжную работу за какое-то преступленіе.

Въ настоящее время существуютъ въ Таракановскомъ заводѣ внуки Якова Глумова: Тимофей Глумовъ, Маланья Степановна съ дочерью Прасковьей и двумя сыновьями, Ильей и Павломъ.

Живутъ они въ Козьемъ Болотѣ, въ десятомъ домѣ по лѣвую руку. Здѣсь кстати замѣтить, что новыхъ домовъ тутъ не строятъ на томъ основаніи, что съ новымъ домомъ много хлопотъ, да и у рабочаго человѣка очень немного свободнаго времени, которое идетъ на починку сапоговъ или кое-какихъ поправокъ; нанять же для этого плотника не на что. Кромѣ этого рабочіе, на старости лѣтъ обратившіеся въ раскольниковъ, такого мнѣнія на счетъ новинъ, что строить новый домъ и грѣхъ, и гордость,—потому что, какого мнѣнія будутъ остальные товарищи: осрамятъ и будутъ грызть всю жизнь. Подобный случай дѣйствительно былъ. Одинъ рабочій сломалъ ветхій домъ, находившійся ближе къ фабричному порядку, зиму онъ прожилъ въ избушкѣ, выстроенной въ огородѣ, а на другое лѣто выстроилъ домъ съ избой и комнатой. Всѣ обитатели Козьяго Болота корили его, называя отщепенцемъ, т. е. отдѣлившимся отъ нихъ, и тѣмъ, что онъ на показъ себя выставляетъ, желая увѣрить всѣхъ, что онъ—человѣкъ богатый и на прочихъ плюетъ. Рабочій не находилъ покою нигдѣ, жену его еще больше ѣли, ничего ей не давали въ долгъ, а если она по простотѣ своей давала кому-нибудь муки, квасу или соли, то ей долгъ не возвращали, считая мужа ея богатымъ человѣкомъ; наконецъ домъ этотъ во время страды сожгли, и рабочій переселился въ солдатскій порядокъ *).

Какъ бы то ни было, рабочіе Козьяго Болота не жалуются на ветхость своихъ жилищъ, а каждый свою избушку утыкаетъ мохомъ или паклею, пре-

*) *Порядкомъ* называется часть завода, имѣющая свое особое мірское управленіе — нѣчто въ родѣ отдѣльной деревни.

имущественно мохомъ, потому что ни у одного таракановца нѣтъ ни пашенъ, ни полей, на которыхъ бы росъ ленъ, и подпираетъ въ случаѣ надобности бревешкомъ. И такихъ полуразвалившихся домишковъ, какъ домъ нашего героя Глумова, въ Козьемъ Болотѣ не мало.

Настоящихъ хозяевъ въ домѣ Глумовыхъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ было двое: Игнатій и Тимофей Петровичи Глумовы.

Оба брата разнились другъ отъ друга родомъ занятій и характерами. Игнатій былъ грубъ и золъ и вѣроятно поэтому работалъ въ рудникахъ, а Тимофей былъ мягокъ, угождалъ мелкимъ начальникамъ, терся то при полиціи, то при лазаретѣ и наконецъ попалъ въ караульные на гору, гдѣ въ то время существовала *караушка*, замѣнявшая на заводѣ каланчу, хотя въ сущности ея назначеніе состояло въ томъ, чтобы отбивать часы, т. е. смѣны рабочихъ.

Несмотря на то, что Игнатій Петровичъ былъ золъ и грубъ съ мелкими начальниками, въ родѣ штейгеровъ и нарядчиковъ, въ товарищескомъ кругу онъ былъ добрѣйшее существо. Сочувствуя каждому человѣку въ томъ, что положеннаго урока такому-то рабочему не исполнить, онъ всегда поддерживалъ мнѣніе, что не дурно было бы посбавить уроковъ; но это мнѣніе не приводилось въ исполненіе, потому, какъ говорятъ заводскія бабы: «рабочіе только на словахъ бойки, а коснись дѣло на лицо, у нихъ и каша во рту застыла». И разсужденіе это довольно мѣтко характеризуетъ трусость рабочихъ. Такъ Игнатій Петровичъ, бывши душой рудничнаго общества на работахъ, въ рудничной избѣ, въ питейныхъ домахъ, въ гостяхъ, нерѣдко подговаривалъ товарищей подать просьбу управляющему объ уменьшеніи урочныхъ работъ; товарищи голосили, хорохорились, но на другой день вся вчерашняя храбрость исчезала, и они, махая руками, говорили: «наплевать! Ужъ коли старики наши эти порядки не могли измѣнить, такъ намъ ли ужъ соваться съ свинымъ рыломъ въ золотую лохань?» Одинъ только Игнатій Петровичъ не измѣнялъ своего мнѣнія. Онъ разъ утромъ, послѣ праздника, опохмелившись съ товарищами, уговорилъ ихъ подписать прошеніе управляющему,—прошеніе, написанное очень красно заводскимъ учителемъ, Петромъ Савичемъ Курносовымъ. Прошеніе это было подано лично управляющему. Стали спрашивать подписавшихся, и только двое съ Игнатіемъ Петровичемъ высказали свои жалобы, а остальные, боясь наказанія, или молчали, или говорили: «мы такъ; мы ничего»... Само собой разумѣется, что изъявившимъ претензію пришлось не легко, такъ что Игнатію Петровичу не привелось уже быть повышеннымъ въ рабочей іерархіи, хотя онъ былъ изъ лучшихъ работниковъ; онъ такъ и умеръ рабочимъ на рудникѣ. Курносовъ же потерялъ учительское мѣсто.

Въ домашнемъ быту Игнатій Петровичъ былъ, по выраженію хозяекъ, золотой человѣкъ. Дѣйствительно, уѣзжая на рудникъ, находящійся отъ завода во ста пятидесяти верстахъ, и проработавъ тамъ почти безъ отдыха двѣ и три недѣли, онъ возвращался домой измученнымъ, и жена его, Матрена Степановна, любившая его нѣжно и занимавшаяся на заводѣ леченіемъ больныхъ, ухаживала за нимъ, какъ за ребенкомъ, не возражала на его грубыя рѣчи, и если когда и случались сцены, такъ это развѣ тогда, когда онъ приходилъ домой пьяный, садился на лавку и начиналъ ругаться, начиная съ десятника и постоянно оканчивая своей женой и дѣтьми, воображая, что въ отравленіи его жизни всѣ участвуютъ. Жена въ это время сидѣла противъ него и доказывала ему, что онъ самъ виноватъ, потому что понапрасну деньги пропиваетъ, и хотя думаетъ, что ему весело теперь, да все-таки работалъ онъ на рудникѣ не въ послѣдній разъ. Игнатій Петровичъ хотя и возражалъ на эти бабьи разсужденія, но уже поворачивалъ свои ругательства совсѣмъ въ другую сторону и потомъ скоро засыпалъ. Съ женой вообще онъ обходился хорошо, дѣтей не обижалъ.

Хвастался Игнатій Петровичъ, только лежа на постели: «али я не Глумовъ? и пьянъ, и сытъ, и въ своемъ дому на кровати лежу... Вотъ гдѣ жизнь! А сойди я съ кровати—я скотъ, ничтожная тварь»... Совсѣмъ другое дѣло—Тимофей Петровичъ. Этотъ еще въ дѣтствѣ слылъ за дурачка; но когда онъ достигъ совершеннолѣтія, товарищи стали замѣчать, что этотъ дурачокъ себѣ на умѣ, и въ насмѣшку говорили, что глумовская порода хоть на комъ-нибудь изъ ея роду да проявитъ себя чѣмъ-нибудь особеннымъ. Яковъ Глумовъ славу пріобрѣлъ долголѣтней опытностью и практикой; вотъ всѣ замѣчаютъ на потомкахъ Глумовыхъ переворачиваніе этой славы только въ другую сторону: сколько былъ славенъ Яковъ Глумовъ, столько же ничтожны теперь его потомки, и все это происходитъ отъ гордости. Такъ объясняли таракановцы; но ничего этого не понималъ или не хотѣлъ понять Тимофей Петровичъ. Идея у него была такая: ссориться со штейгерами и прочею дрянью не стоитъ, нужно ласкаться къ нимъ и угождать имъ. Онъ такъ и дѣйствовалъ, и его жаловали больше другихъ, хотя онъ почти всегда или сидѣлъ безъ дѣла съ трубкой въ зубахъ, или перехаживалъ отъ одной кучки къ другой, забавляя рабочихъ остротами, прибаутками, одной очень смѣшной пѣсней, за которую ему дали названіе «медвѣжьяго вожака». И это названіе мало того, что превратилось въ поговорку, но рабочіе еще спрашивали его постоянно: «а скоро ли, Тимошка, кривая ножка, ты медвѣдя намъ будешь показывать?». На это Тимофей Глумовъ только хохоталъ или говорилъ смѣясь: «а что, развѣ не хорошо съ медвѣдемъ ходить?»—и начиналъ приплясывать и припѣвать: «а гри-дю-грю, да гри-де-грю, дя-гри-де-гря!!», сопровождая эти слова смѣшными жестикуляціями, которыя до слезъ и коликъ смѣшили толпу, а нѣкоторые даже сами принимались размахивать руками. Нельзя сказать положительно: эти ли насмѣшки товарищей надъ Тимофеемъ Петровичемъ, или у него дѣйствительно была мономанія, только на двадцать четвертомъ году своей жизни онъ промыслилъ себѣ маленькаго медвѣжонка; и какъ же онъ ухаживалъ за нимъ! Не пьетъ, не ѣстъ до тѣхъ поръ, пока его пасынокъ,

какъ онъ называлъ медвѣжонка, не развалится и, хоть ты бей его, не встанетъ съ мѣста. Онъ даже и спалъ недалеко отъ пасынка, который былъ, впрочемъ, привязанъ за одинъ уголъ сарая, выходящаго въ огородъ. Сначала этотъ медвѣжонокъ наводилъ страхъ на семейство Глумовыхъ, такъ что въ огородъ не только дѣти, но и женщины боялись идти; но потомъ, хотя и привыкли къ нему,—медвѣжонокъ ни на кого не кидался, жралъ помногу ржаного хлѣба и никому не надоѣдалъ, — да только медвѣжонокъ со временемъ сталъ пошаливать, въ родѣ того, что въ отсутствіе Тимофея Петровича перегрызалъ веревки и бѣгалъ по грядамъ безъ зазрѣнія совѣсти и даже разъ испугалъ самого Игнатія Петровича, только-что вышедшаго изъ бани освѣжиться. Тогда Тимофея Петровича стали гнать изъ дому, въ противномъ же случаѣ грозили убить его пасынка. Пошелъ Тимофей Петровичъ по заводу, медвѣдя съ собой потащилъ за веревочку. Народъ старый, молодой и малый валитъ за нимъ и хохочетъ.

— А ну-ка, Тимошка, покажи фокусъ-покусъ!..

— Какъ твоя барыня капусту въ огородѣ воровала!

— Ой, насмѣшилъ этотъ Тимошка! Хо-хо! глядите, медвѣдь его назадъ претъ.

Съ этимъ медвѣжонкомъ Тимофей Петровичъ осрамилъ себя на весь заводъ. До сихъ поръ онъ только кормилъ его, а такъ какъ объ ученіи его раньше не думалъ, то теперь на всѣ приказанія плясать и показывать фокусы-покусы медвѣжонокъ только мычалъ или лежа сосалъ лапу.

Народъ хохоталъ надъ Тимошкой, и тутъ же одинъ рабочій сложилъ пѣсню такого рода, что въ заводѣ появился цыганъ съ медвѣдемъ; вывелъ этотъ цыганъ медвѣдя къ народу, плясать заставлялъ, да вмѣсто медвѣдя самъ до того наплясался, что лишь кое-какъ до перваго кабака добрался.

Послѣ этого Тимофей Петровичъ не чудилъ и, въ качествѣ непремѣннаго работника, исполнялъ разныя должности: былъ онъ и при лазаретѣ сторожемъ, былъ и казакомъ при полиціи, и всюду слылъ за дурака, которому только и занятія, что быть на побѣгушкахъ, такъ какъ у него ноги казенныя.

Среда, въ которой онъ проводилъ жизнь, была какъ-разъ по характеру Тимофея Петровича. Изъ товарищей его многіе были отъявленные плуты, и хотя самъ онъ прежде плутомъ не былъ, но каждый про себя думалъ, что такого плута рѣдко гдѣ сыщешь; эта среда сдѣлала его пьяницей, взяточникомъ и даже воромъ. Вотъ за одно воровство его и сослали на Круглую гору быть караульщикомъ денно и нощно. Это было самое тяжелое наказаніе на таракановскомъ заводѣ.

И дѣйствительно, какое нужно наказаніе рабочему, которому ни почемъ розги, который привыкъ работать въ рудникахъ? Отдать въ солдаты?.. Но заводоуправленіе лишится одной рабочей силы, да и за что давать негодяю жизнь лучше заводской? Вотъ оно придумало устроить на горѣ будку, поставить около будки столбъ, на верху столба сдѣлать подобіе крыши, подъ крышей повѣсить десятифунтовой колоколъ и назначить буяна или мошенника, котораго не берутъ ни розги, ни рудники, сторожить заводъ съ тѣмъ, что этотъ сторожъ можетъ отлучаться съ горы въ заводъ разъ въ сутки, а именно послѣ полуденной смѣны. Отлучка эта заключалась въ томъ, что сторожъ обязанъ явиться въ полицію для того, чтобы показать себя и потомъ запастись провизіей.

Но какъ исполнялъ свою должность Тимофей Петровичъ! На первый день онъ перевелъ висѣвшіе въ его избушкѣ стѣнные часы на цѣлыя полсутки и ударилъ смѣну; на другой день забилъ въ набатъ. Но это не сошло ему даромъ, и какъ онъ потомъ ни изощрялся, а долженъ былъ исполнять свое дѣло. Однако же исполнялъ свою обязанность съ грѣхомъ пополамъ. Въ первый мѣсяцъ онъ отбивалъ часы, какъ встанетъ, потому что часы стояли и поправить ихъ въ заводѣ было некому, потому что часовой мастеръ не брался ихъ чинить, а новые часы начальство не хотѣло купить. Впослѣдствіи Глумовъ пропилъ и эти часы, т. е. заложилъ въ кабакѣ, и донесъ полиціи, что въ его отсутствіе часы украли. Глумовъ, какъ и всѣ рабочіе, пробуждался въ четыре часа, поэтому утромъ онъ рѣдко ошибался: иногда развѣ отбивалъ часы часомъ раньше или часомъ позже, что, впрочемъ, ему въ вину не ставили. Потомъ онъ ковырялъ сапоги, т. е. клалъ заплаты на худые сапоги, взятые въ починку отъ рабочихъ. Такимъ образомъ, занимаясь починкой сапоговъ, Глумовъ не глядѣлъ на заводъ, отговариваясь тѣмъ, что пожаровъ въ заводѣ давно не бывало. Потомъ онъ затапливалъ желѣзную печь, варилъ что-нибудь и ложился спать, и какъ только выспится, выйдетъ къ столбу; если есть солнышко, то ляжетъ на одну половину крыши — сѣверную, служащую часами по черточкамъ, сдѣланнымъ на ней: если солнышко лѣтомъ дошло до пятой черточки — двѣнадцать часовъ, зимой до второй — тоже двѣнадцать—онъ бьетъ часы, а потомъ идетъ подъ гору въ заводъ, гдѣ частенько проспитъ не только вечернюю смѣну, но и цѣлую ночь. Въ ненастную погоду онъ отбивалъ смѣну по своему усмотрѣнію, и за это его ругали рабочіе, потому что однимъ приходилось работать дольше другихъ, и тѣ, которые работали больше, проклинали Глумова и въ глаза называли его взяточникомъ.

Заводское начальство только сперва строго преслѣдовало Тимофея Петровича, но потомъ какъ будто совсѣмъ забыло о существованіи на горѣ избушки съ Глумовымъ, потому что управляющимъ приказано было завести часы на церкви, и эти часы отбивали смѣну. Но сторожъ туда попался не лучше Глумова.

Рабочіе считали Тимофея Петровича за полоумнаго и постоянно дразнили его тѣмъ, что онъ ничто. Трезвый Глумовъ отмалчивался, но пьянаго его трудно было увѣрить, что онъ ничего не значащій человѣкъ. Сдѣлавъ руки фертомъ, выпятивъ правую ногу впередъ, онъ доказывалъ всѣмъ, что онъ самъ себѣ господинъ.

— А гдѣ твое господство? — спрашивали его рабочіе.

— А избушка на горѣ.

— Эхъ, ты! А ты вотъ что скажи намъ: не срамъ это Якову Глумову, что его потомки на горѣ съ чертями живутъ?..

Разъ, это было на третій день Успеньева дня, утромъ, именно въ то время, когда надо идти на работы, раздался на горѣ набатный звонъ. Тарака новцы перепугались, многіе кидались изъ улицы въ улицу, сломя голову, какъ говорится, многіе всползли на крыши,—дыму нигдѣ не видать, и никому въ голову не приходитъ взглянуть на гору. Вдругъ одинъ подростокъ кричитъ:

— Глядите, Тимошка Глумовъ горитъ!

Мало-по-малу всѣ бывшіе на крышахъ стали глядѣть на гору, и каждый хохоталъ и дивился премудрости Тимофея Глумова: избушка горѣла, а самъ Глумовъ, стоя у столба, позванивалъ. Полицейское начальство глядѣло изъ оконъ фабрики и кричало Глумову:

— Въ полицію!

— Погибаю!—кричалъ Глумовъ, что было силы, и не переставалъ трезвонить.

На прудъ выплыло много лодокъ, лодки были полны любопытными. Избушка горѣла ярко, а такъ какъ вѣтру не было, то дымъ поднимался столбомъ къ верху.

— Спасайте!—кричалъ Глумовъ.

Начальство хохотало. Вотъ на Тимошкѣ вспыхнула рубаха, но онъ ее въ мигъ сбросилъ.

Такъ онъ безъ рубашки и пришелъ на фабрику къ начальству.

— Ты зачѣмъ сжегъ избу?—спросили его.

— Видитъ Богъ, не я...—отпирался Глумовъ.

Начальство разсудило, что Глумовъ хитрый проходимецъ—избу зажегъ и чуть самъ не сгорѣлъ, исполняя свою обязанность, и дало ему, какъ полоумному, чистую отставку съ половиннымъ провіантомъ.

Это было въ тотъ годъ, какъ умеръ Игнатій Петровичъ. Съ тѣхъ поръ Тимофей Петровичъ живетъ въ отцовскомъ домѣ съ семьею брата и попрежнему занимается починкой сапогъ. Но главное его занятіе состоитъ въ томъ, чтобы стащить изъ фабрики или магазина все, что плохо лежитъ, и это краденое онъ сбываетъ у заводскихъ кузнецовъ, которые между прочимъ занимаются и торговлей, какъ въ самомъ заводѣ, такъ и въ горномъ городѣ.

III.

Хозяйствомъ Глумовыхъ прежде заправляла Маланья Степановна, женщина всѣми уважаемая въ Козьемъ Болотѣ за то, что она была миролюбиваго характера, нрава кроткаго и, главное, умѣла лечить отъ всякихъ болѣзней травами, часть которыхъ она собирала сама то въ болотахъ, то въ лѣсахъ, а часть покупала у докъ—таракановскихъ торгашей. Знала ли она въ точности, чѣмъ боленъ такой-то или такая-то, разъяснить довольно трудно; но всѣ знали, что науку лечить она переняла отъ своей бабушки, которая очень любила ее и, желая дать ей какое-нибудь независимое ремесло, чтобы она могла имѣть свои деньги, изучила ее еще при себѣ лекарскому искусству. Однако, какъ бы то ни было—умирали ли больные отъ ея леченья или выздоравливали, но она, какъ и бабушка ея, была въ славѣ, и ее почти всѣ больные Козьяго Болота и Медвѣдки приглашали къ себѣ, какъ свою лекарку,—потому свою, что въ каждомъ порядкѣ была непремѣнно своя знахарка, и заводскіе привыкали постоянно къ одной, не подрывая доходовъ другой. Но вдругъ сосѣди и пріятельницы Маланьи Семеровны стали замѣчать, что «наша лекарка какъ будто немножко рехнулась въ разсудкѣ». И этого имъ было достаточно на первыхъ порахъ, чтобы потолковать о всѣхъ качествахъ Маланьи Степановны, и въ числѣ этихъ качествъ стали отыскивать въ ней дурныя стороны, потому что, какъ они понимали, полоумнымъ человѣкомъ чортъ шутитъ. Изъ боязни ли этого чорта, или по недовѣрію къ знахаркѣ, но Маланью Степановну стали рѣже приглашать къ себѣ, а потомъ пугали ею своихъ ребятъ и совсѣмъ отшатнулись отъ нея. На самомъ же дѣлѣ сосѣдки и пріятельницы Маланьи Степановны не понимали, въ чемъ дѣло. У Маланьи было три сына и дочь, изъ которыхъ она особенно любила старшаго, Егора: этого-то сына извели работа и наказанія. Ей было горько, она долго плакала, совѣтовалась съ мужчинами и женщинами, сочиняла прошенія и хлопотала, но когда не могла найти справедливости у заводскаго начальства, то впала въ безпамятство и дѣлала часто не то, что бы слѣдовало.

Но это еще ничего. А вотъ умеръ ея мужъ; она, вмѣсто того чтобы заботиться о похоронахъ, неизвѣстно куда скрылась, и только черезъ мѣсяцъ привезъ ее казакъ въ домъ связанную; но какую... лицо ея было избито, въ грязи; руки искусаны; глаза дикіе. Она то хохотала, то ругалась. Съ полулюбопытствомъ и полуиспугомъ оглядѣли ее сосѣди, стали спрашивать ее, но она, не признавая никого, говорила что-то такое, чего никто рѣшительно не могъ понять. Она даже дѣтей своихъ не признавала. Постояла она въ избѣ съ четверть часа и вдругъ выбѣжала во дворъ. Пошли во дворъ сосѣди—она лежитъ подъ телѣгой и, какъ только увидѣла народъ, крадучись, исчезла въ огородъ и тамъ, не обращая вниманія на то, что сѣла на гряду съ капустой, она стала рыть грядку.

— И штой-то стряслось съ ней? — спрашивали женщины казака.

— Ничего не знаю. Повѣренный Талановъ велѣлъ приставить домой.

Такъ никто и не зналъ на заводѣ, отчего сошла съ ума Маланья Степановна: знали только, что она была въ горномъ городѣ, а зачѣмъ—ни отъ кого не добьешься толку.

Такимъ образомъ все хозяйство въ домѣ Глумовыхъ перешло въ руки Прасковьи Игнатьевны, дѣвицы девятнадцати лѣтъ.

На долю русской простой рабочей женщины приходится очень много труда. Вся ея жизнь, до самой старости, до тѣхъ поръ, пока ее не замѣнитъ хорошая помощница, заключается въ томъ, чтобы работать. Примѣровъ искать нечего. Такъ Маланья Степановна занималась хозяйствомъ до сумасшествія, и только сумасшествіе, кажется, избавило ее

отъ заботъ, но и она не могла жить безъ дѣла. Женщина, если и работаетъ много, все-таки сознаетъ, что вѣдь и она хозяйка, и у нея есть свое хозяйство, и она сосѣдями не обижена, спокойно смотритъ въ глаза каждому, и никто, кромѣ ея мужа, не смѣетъ ей сказать худого слова. Другое дѣло—положеніе дѣвушки, подвергающейся почти на каждомъ шагу соблазнамъ, не имѣющей такихъ правъ, какъ женщина.

О дѣтствѣ Прасковьи Игнатьевны говорить нечего, потому что какъ и въ заводскомъ классѣ, такъ и въ крестьянскомъ быту воспитаніе дѣвицъ одинаково. Лишь только она начала ходить, лепетать, ее уже заставили возиться съ маленькими братьями и сестрами, которые почти каждый годъ пополняли семейство, но къ несчастью родителей умирали; потому къ несчастью, что чѣмъ больше у рабочаго дѣтей, тѣмъ больше идетъ провіанту, а впослѣдствіи дѣти будутъ помогать родителямъ. Не мѣшаетъ также замѣтить, что родители заботятся только о томъ, какъ бы накормить дѣтей и какъ-нибудь одѣть, все же остальное предоставляютъ волѣ Божіей, на томъ основаніи, во-первыхъ, что и сами они росли такъ же, а во-вторыхъ, о теоретическомъ воспитаніи, основанномъ на различныхъ началахъ новѣйшаго времени, они не имѣли никакого понятія. Поэтому всѣ заботы по воспитанію ограничиваются тѣмъ, чтобы выкормить себѣ поскорѣе работника. Дѣвушка съ двѣнадцати лѣтъ, а иногда и раньше, становится уже работницей въ домѣ; кромѣ того, что она возится съ ребятами, кормитъ ихъ, она должна все дѣлать, начиная съ мытья половъ и посуды и кончая огородомъ,—только мать не даетъ ей доить корову и печь хлѣбы. Въ пятнадцать лѣтъ дѣвушка становится правою рукой своей матери и сама, безъ понужденія, знаетъ, что ей дѣлать, а мать только распоряжается, показывая видъ крикомъ, что она, т. е. мать, учитъ ее, какъ жить своимъ хозяйствомъ.

Но при здравомъ разсудкѣ матери Прасковьѣ Игнатьевнѣ было гораздо легче, потому что тогда, что нужно было сдѣлать скоро и въ разъ, могло дѣлаться съ долгимъ ворчаніемъ, ненужною ходьбою отъ одной вещи до другой, отъ сѣней до погреба и т. д. Тогда можно было полчаса лишнихъ простоять на выгонѣ, куда выгоняютъ коровъ, можно было потолковать съ подругами, два лишнихъ часа проплясать на вечерахъ, и всѣ эти прогулки кончились бы только тѣмъ, что мать поворчала бы часа три. Теперь же на ея руки было отдано все—и лошадь, и корова, и овцы, и даже огородъ. А извольте напримѣръ выполоть огородъ, когда еще надо поить корову, кормить курицъ, а тутъ мать пристаетъ съ чѣмъ-нибудь. А мать часто надоѣдала Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

Хотя мать и не злилась на дочь, не бросалась на нее въ припадкахъ раздраженія, но на Маланью Степановну часто находило то, что пугало не только Прасковью Игнатьевну, но и Тимофея Петровича. Такъ, напримѣръ, зимой она часто уходила въ огородъ босая и тамъ рылась въ снѣгу; затопятъ баню, она завалится на полокъ, и трудно ее выжить оттуда. Какъ-то разъ ночью она затопила печь въ кухнѣ и суетилась около квашенки, и когда ее спросили, что она дѣлаетъ, она отвѣчала: «Оладьи надо стряпать! Вѣдь сегодня поминки моему Егору», и начала ругаться неприличными словами. Тимофей Петровичъ посовѣтовалъ Прасковьѣ Игнатьевнѣ не трогать ея: пусть топитъ, — дровъ не жаль, да и теплѣе будетъ, и легъ спать, но дочь провозилась съ матерью до утра.

Хорошо еще, что Тимофей Петровичъ помогаетъ по хозяйству. Нельзя сказать, чтобы онъ любилъ молодую хозяйку, но иногда, пообѣдавъ плотно, говорилъ: «спасибо, хозяюшка, накормила, напоила—всегда такъ мужу угождай».

IV.

Іюнь мѣсяцъ. Погода стоитъ жаркая. Солнышко жжетъ, на небѣ чисто, въ воздухѣ накопилось много пыли, а дымъ отъ фабрикъ стелется гуще и гуще надъ фабричнымъ порядкомъ. Для ребятъ погода хорошая, они почти всѣ бѣгаютъ на улицахъ; даже дѣвушки сидятъ или на лавочкахъ, или на дощечкахъ, положенныхъ въ воротахъ для того, чтобы между землей и половинками воротъ не было промежутковъ. Дѣвушки, какъ водится, сидятъ съ грудными или двухъ-годовалыми ребятами, еще не умѣющими ходить на ногахъ. Время послѣобѣденное, и по хозяйству все, что нужно, сдѣлано. Женщины съ чулками или пряхами тоже сидятъ за воротами на тѣхъ сторонахъ улицъ, гдѣ солнце или еще не показывалось, или куда уже сегодня не будетъ показываться. Женщины преимущественно толкуютъ по хозяйству: о какомъ-нибудь нарядчикѣ, о какой-нибудь коровѣ, разсказываютъ сны, приводятъ примѣры различныхъ уроковъ, несчастныхъ случаевъ и т. д. Всѣ онѣ хотя и голосятъ, по-заводски растягивая, но голосятъ такъ, что между ними замѣтно согласіе, а той горячки, какую они порютъ до обѣда, теперь и слѣда нѣтъ. Это онѣ отдыхаютъ. Мужья же ихъ и дѣти-подростки теперь находятся на работѣ; половина изъ нихъ придетъ сегодня вечеромъ, половина завтра. На полянкахъ разостланъ для сушенія холстъ; кое-гдѣ на солнечной сторонѣ заплотовъ сушатся онучи.

И въ Козьемъ Болотѣ сухо, и тамъ та же картина, какъ и въ другихъ улицахъ. Ребята кричатъ, визжатъ, хохочутъ, дерутся, ругаются, какъ старшіе; женщины голосятъ; такъ что въ такой узкой улицѣ ничего не разберешь.

Все шло хорошо въ этой улицѣ, только вдругъ четверо парней отъ десяти до пятнадцати лѣтъ, доселѣ весело игравшіе въ бабки, вдругъ начали драться. Къ нимъ присоединились еще восьмеро; остальные ребята, вѣроятно чувствуя себя слабосильными, переставши играть, смотрѣли въ отдаленіи на баталію и съ удовольствіемъ, и съ завистью, а тѣ, которые были побойчѣе, кричали:

— Хорошенько, Яшка, Тюньку! Лупи его!

Какъ ни кричали женщины на ребятъ, но они не прекращали драться, потому драка была въ крови рабочихъ. Безъ драки не оканчивалась ни одна попойка рабочихъ, если дѣло доходило до

разрѣшенія какихъ-нибудь споровъ или вопросовъ; парень, обиженный другимъ парнемъ, искалъ случая отомстить ему, а такъ какъ у каждаго парня есть свои пріятеля, а у пріятелей свои враги, то настоящая драка этимъ и объясняется. Наконецъ двое ребятъ уже лежали на землѣ съ окровавленными лбами, трое шли въ разныя стороны со слезами, придерживая носы. Но вотъ одна женщина, вооружившись граблями, приблизилась къ драчунамъ и по-солдатски крикнула:

— Долго ли еще вамъ баталь-ту производить?

Но ребята еще хуже продолжали свое дѣло. Тогда женщина махнула граблями, и двое ребятъ свалились отъ ея удара на землю. Ребята прекратили драку, но начали ругаться во все горло разными непечатными словами. Женщины голосили, пугая парней тѣмъ, что онѣ непремѣнно будутъ жаловаться отцамъ, а тѣ зададутъ имъ хорошую поронь.

— Да развѣ мы сами!.. Кто началъ-то, спроси всѣхъ?—оправдывался одинъ рыжеволосый парень.

Женщины не обратили на это оправданіе никакого вниманія, а завели между собой разговоръ о непослушаніи парней.

— Развѣ мы? вонъ Илька Глумовъ первый учалъ (началъ),—кричалъ другой парень.

— Ахъ ты, бѣлобрысая крыса! А кто бабки-то въ прошлое воскресенье утянулъ...

Мало-по-малу парни опять вцѣпились въ драку. Но въ это время по улицѣ шелъ человѣкъ въ сѣренькомъ пальто и черныхъ брюкахъ, въ фуражкѣ съ околышемъ мѣстной формы. На видъ ему было годовъ 28, лицо его корявое, обросшее баками и усами; походка неровная, онъ не то подпрыгивалъ, не то прихрамывалъ и размахивалъ руками.

— Учитель! учитель! тараканій мучитель!—голосили ребята, переставая играть, и косили ему глаза, а нѣкоторые дѣлали руки въ боки, поднимали голову къ верху и представляли прошедшаго мимо нихъ учителя.

Учитель на это не обращалъ вниманія, потому что ребята такія штуки продѣлывали съ нимъ всегда, если не было въ виду отцовъ. Передразнивали они учителя, и вообще всѣхъ, носящихъ не зипунъ, потому что имъ смѣшно казалось видѣть человѣка, живущаго въ одномъ съ ними порядкѣ, не въ той одеждѣ, въ какой ходятъ рабочіе.

— Здорово живете, бабоньки!—сказалъ мужчина, снявъ фуражку и поклонившись налѣво, гдѣ около одного дома разговаривали шесть женщинъ.

— Здорово, Петръ Савичъ! Къ Глумовымъ?—спросила одна женщина.

Учитель мотнулъ головой и сказалъ:—Теплынь-то какая, бабы! А? такъ и жжетъ? а?

— Чево и говорить. А скоро у те свадьба-то?

Учитель рукой махнулъ.

— А што такъ?

Учитель остановился:

— Да вотъ.—И онъ замолчалъ, вѣроятно желая что-то смѣшное выдумать, но только сплюнулъ. Въ это время къ учителю подошло нѣсколько ребятъ, изъ которыхъ одинъ, годовъ пяти, лепеталъ, протягивая руку къ нему: «дядя, пляни-икъ!» за что и былъ отведенъ матерью за ухо въ сторону.

— Такъ, знать, свадьбѣ не бывать?

— Не знаю, бабы! Дѣло дрянь: сами знаете, на три цѣлковыхъ немного наскачешь.

Учитель пошелъ. Драчуны играли въ бабки.

— Илья? есть кто въ избѣ-то?—крикнулъ учитель Ильѣ Глумову.

— Я почемъ знаю!—огрызнулся Илья Глумовъ.

— Драть васъ, шельмецовъ, надо!...

— Самого-то давно ли въ кузницѣ драли!

Остальные парни захохотали.

Учитель плюнулъ со злости и отворилъ калитку у воротъ дома Глумовыхъ.

— Куда лѣзешь, кургузый дьяволъ! Говорятъ, никого нѣтъ дома,—кричалъ Илья Глумовъ и подбѣжалъ къ учителю.

Учитель не то сробѣлъ, не то ему сдѣлалось стыдно, что безстыжій парень его, учителя, обзываетъ ни за что.

— Я не къ тебѣ иду, свинья.

— Самъ съѣшь. Воровать, поди, лѣзешь. И такъ все на меня говорятъ.

Въ это время на дворѣ показалась Прасковья Игнатьевна, дѣвушка высокая, бѣлолицая, съ голубыми глазами и пепельнаго цвѣта волосами. На ней надѣтъ ситцевый старенькій сарафанъ, на ногахъ худенькіе башмаки, на головѣ платокъ.

— Илька! я тебя, страмецъ,—прикрикнула Прасковья Игнатьевна.

Илья обозвалъ сестру нехорошимъ именемъ и ушелъ.

— Здравствуйте, Прасковья Игнатьевна.

— Здравствуйте. Зачѣмъ пришли?

— Я... я пришелъ къ Тимофею Петровичу.

— Дома нѣтъ.

— Однако вы, я вижу, сердитесь.

— Сами виноваты: зачѣмъ неприличныя слова говорите. Развѣ можно?

— Ну, простите... Ей-Богу, до свадьбы не буду... Такъ прощайте, Прасковья Игнатьевна!

Прасковья Игнатьевна не трогалась съ мѣста, а учитель тихонько пошелъ къ воротамъ.

— Такъ вы куда теперь?—окликнула учителя Прасковья Игнатьевна.

— Пойду—куда глаза глядятъ.

— Ну, не то иди въ огородъ: у насъ огурцы какіе славные.

Вошли въ огородъ.

Картофель уже поднялся на полъ-аршина, горохъ вился по тычинкамъ и скрывалъ собою баньку; капустные листы начали сжиматься, въ парникахъ между огуречными листьями желтѣли цвѣточки, виднѣлись зеленые огурцы, а отъ парниковъ, устроенныхъ около сарая, по тычинкамъ, упирающимся въ крышу сарая, тянулись съ листами вѣтви тыквъ, которыхъ теперь еще было немного и величиной онѣ были въ кулакъ.

Войдя сюда, холостой человѣкъ могъ позавидовать тому, что все это сдѣлано стараніемъ женщины, все принадлежитъ хозяйству, главное—все свое. И надо еще то сказать, что женщинѣ только

и есть развлеченія, что огородъ, за которымъ она, впрочемъ, ухаживаетъ, какъ за дитятей.

Вдругъ между грядами появилась высокая фигура Тимофея Петровича. Лицо его съ перваго взгляда казалось смѣшнымъ: глаза широкіе, съ сросшимися бровями; на красномъ лицѣ множество складокъ и бородавокъ; борода выросла какъ-то въ лѣвый бокъ; волоса кудреватые, рыжіе.

— А! женишокъ явился... Я ужъ считалъ: первый вторникъ, говорю—недѣля, другой говорю—двѣ, третій...—говорилъ Тимофей Петровичъ, приближаясь къ молодымъ людямъ.

— Ты, дядя, поли.

— Поли. А что̀ дашь?

— Что тебѣ дать-то: рѣпу любишь, да не поспѣла.

— Нѣтъ, ты постой, женишокъ, что я тебѣ скажу...

— Слышите, Петръ Савичъ... вотъ умора-то... Ха-ха-ха!.. Ой, батюшки!.. — хохотала Прасковья Игнатьевна.

— Ты молчи, осержусь.

— Знаю: твое сердце только до лавки дойти... Жениться хочетъ...

— Али я рожей на свинью похожъ? Али я не молодецъ?—хорохорился Тимофей Петровичъ, дѣлая руки фертомъ и отпячивая по привычкѣ лѣвую ногу впередъ, причемъ лицо его еще смѣшнѣе дѣлалось, такъ что молодые люди захохотали.

— Молодецъ, Тимофей Петровичъ. Только этой штуки и недоставало послѣ караушки.

Тимофей Петровичъ захохоталъ, икнулъ, вздрогнулъ и сказалъ:

— А кто моя невѣста, это—фю-ю!! Въ пакетѣ, братецъ ты мой, запечатано семью печатями. Какъ есть къ вѣнцу... дотоль вамъ и во снѣ не приснится... Вѣдь, братецъ ты мой, штучка! да еще какая штучка-то!!.. Диво будетъ во всемъ заводѣ—знай Глумовыхъ. Кррахъ!! — заключилъ Глумовъ, дѣлая смѣшной жестъ руками и ртомъ. Молодые люди захохотали.

Въ огородъ вышла Маланья Степановна. Это была высокая, худощавая женщина, съ блѣднымъ лицомъ и начинающими сѣдѣть волосами. На головѣ у нея надѣто что-то въ родѣ шапочки; на ней самой поверхъ сарафана шугайчикъ, заплатанный въ разныхъ мѣстахъ. Ноги босыя, а подолы распластаны, такъ что на висящихъ лоскуткахъ много накопилось колючихъ репейныхъ шишекъ.

Увидѣвъ Петра Савича, она скоро подошла къ нему и захохотала, потомъ дрожащимъ голосомъ спросила:

— Табачку-то принесъ?

— Принесъ, бабушка, принесъ.—Петръ Савичъ вытащилъ изъ кармана бумагу, въ которой былъ завернутъ нюхательный табакъ. Тимофей Петровичъ ушелъ во дворъ. Старуха взяла щепотку табаку, нюхнула, еще взяла—нюхнула. Потомъ схватила бумагу.

— Будетъ, бабушка.

— Дай!!.. Ахъ ты, полуварначье, нашивальня, гривенка, наколотый пятачокъ.

Петръ Савичъ отдалъ ей бумажку. Она спрятала бумажку подъ шугайчикъ и пошла къ грядамъ. Пройдя немного, она сѣла и стала выдергивать траву.

— Славу Богу, Петръ Савичъ, нынче не чудитъ. Сегодня она мнѣ стряпать что есть помогала и даже чуть по-старому ухватомъ не отвозила меня: я ставлю похлебку въ печь, а она говоритъ: «соли надо»; а я вѣдь не маленькая, слава тѣ Господи... сама знаю, сколько чего надо. Нѣтъ, говоритъ, посоли. Ну, пристала, даже досадно сдѣлалось... Соли, говорю, и согрѣшила, заворчала на нее. Она схватила ухватъ да какъ крикнетъ: «што ты ворчишь! А?»

— Значитъ, она въ здравомъ умѣ.

— Како ужъ... Захотѣлъ отъ нея ума... Хошь огурчика?

— Давай, коли не жалко.

Прасковья Игнатьевна нагнулась; на лицѣ показался румянецъ. Она быстро перебирала руками и скоро, не поднимаясь, подала Петру Савичу желтый огурецъ, ростомъ въ два вершка. Минуты черезъ двѣ она выпрямилась, откусила огурецъ и пошла къ грядамъ.

— Посидимъ, Прасковья Игнатьевна.

— Экое посѣдало!.. Все бы сидѣть... Мужикъ еще, слава тѣ... Анъ нѣтъ: вѣдь учитель!—и она захохотала.

— Пока не учитель, што дальше Богъ дастъ

— Хочешь полоть?.. Вонъ ту гряду поли.

— Нѣтъ, я тебѣ буду помогать.

— Помощникъ!! Мѣшать только... Ну, не то иди... Только рукамъ волю будешь давать, крапивой все лицо изжалю. Вотъ тѣ сказъ...

Пошли они въ середину огорода, присѣли у мака, и ихъ стало не видно.

Хорошо сидѣть въ огородѣ, на бороздѣ между грядъ, на которыхъ растутъ овощи, скрывающіе своими листьями отъ всякаго посторонняго взгляда. Кругомъ трава и трава, чиркаютъ въ кустахъ сверчки, дышется хорошо,—такъ и кажется, что сидишь совсѣмъ гдѣ-то не дома, а въ хорошемъ мѣстѣ, изъ котораго бы не вышелъ, если бы сверху не палило солнышко. Но еще лучше сидѣть рядышкомъ жениху и невѣстѣ.

Негодной травы, мѣшающей расти овощамъ, въ каждомъ огородѣ бываетъ много, такъ и у молодыхъ людей работы было много. Они полчаса молча выдергивали траву, бросая ее на борозду, на которой сидѣли, и чуть-чуть подвигались съ мѣста. Прасковья Игнатьевна, кажется, только тѣмъ и была занята, что выдергивала траву, а Петръ Савичъ вздыхалъ и то и дѣло взглядывалъ на свою невѣсту, которая при каждомъ его вздохѣ улыбалась, и на щекахъ ея показывался легкій румянецъ. Разговора ни тотъ, ни другая не начинали.

Вдругъ Прасковья Игнатьевна ударила по рукѣ Петра Савича.

— Такъ помогаютъ! Зачѣмъ рѣпу-то выдергиваешь?

— Насилу-то слово сказала.

— Ты хорошъ: цѣлый день просиди съ тобой—слова не дождешься. А еще слава—женихъ.

— Женихи цѣлуются съ невѣстой.

— Болтай, пустомеля!.. Это все ты около своихъ писарей перенялъ дурацкую привычку.

— Ей-Богу, чувство такое.

— Ну-ка, скажи, ученый человѣкъ: чувство ли это, што нашъ управляющій при всемъ при народѣ руку у генеральской дочери поцѣловалъ?

— Заведено ужъ такъ.

— Нѣтъ, ты скажи: вѣдь управляющій женатъ?

— Порядки такіе — свѣтъ того требуетъ, потому они люди высшіе...

Прасковья Игнатьевна осталась довольна этимъ объясненіемъ.

— Однако вѣдь ты, Паруша, цѣловалась на вечеркахъ!

— Экъ нашелъ какой разговоръ! Цѣловалась, и не съ тобой однимъ, а со многими парнями, потому пѣсни такія.

— А все жъ дружка себѣ съ вечерки выбрала и послѣ вечерки, помнишь—у лѣсенки, какъ цѣловала...

— Дуракъ!—сказала съ неудовольствіемъ Прасковья Игнатьевна и замолчала. Щеки покрылись румянцемъ; она стала тяжело дышать.

Петръ Савичъ обнялъ ее и сталъ цѣловать; она не препятствовала, а даже сама раза четыре поцѣловала.

— Будетъ, Петя... увидятъ...—унимала шопотомъ Петра Савича Прасковья Игнатьевна; но Петръ Савичъ не выпускалъ ея изъ объятій. Прасковья Игнатьевна сама обняла его. Грудь ея поднималась, сердце билось сильно, лицо горѣло.

— Петя...дружокъ... што же это со мной дѣлается?

— Это любовь, Паруша...

— Петя, скажи мнѣ по правдѣ: будешь ты водку проклятую пить?

— Не знаю.

— Нѣтъ, ты скажи... А то што жъ за жизнь! Ужъ я лучше и не пойду за тебя. Не будешь?

— Не буду.

— Ну, побожись.

— Ей-Богу.

— Пить будешь, бить буду... Ну, а што жъ, скоро?

— Свадьба-то?.. Ахъ, Прасковья Игнатьевна, и самъ я не знаю, што мнѣ дѣлать?

— Спроси бабъ, коли самъ не смыслишь. Ну, какой ты мнѣ мужъ будешь? Не даромъ и ребята-то тебя кургузкой зовутъ.

— Тебѣ што: у тебя хоть отрада есть—огородъ.

— Выбирай другую, коли я...

— Да слушай, ты совсѣмъ не то... Вотъ у тебя домъ, а у меня ничего... Вотъ мнѣ и совѣстно жениться-то.

— А развѣ наши парни не такъ же женятся?

— А я не хочу.

— Ну, и вышелъ ты дуракъ, и больше ничего!— и Прасковья Игнатьевна захохотала.

Немного погодя, Прасковья Игнатьевна сказала Петру Савичу:

— А коли ты любишь меня да хочешь, чтобы я тебѣ жена была, ты скорѣе женись. Потому такъ не хорошо. Ты мужчина, кто тебя знаетъ, што у те на умѣ, можетъ у те тамъ другая невѣста есть...

— Прас...

— Нѣтъ, ты дай сказать... Можетъ ты это такъ, обмануть меня хочешь... Я вѣдь не игрушка, тоже и разсудокъ, хоть и дѣвичій, да имѣю... Тебѣ ничего, а што наши бабы говорятъ: глядите, говорятъ, дѣвоньки, учитель-то, Курносовъ, повадился къ Глумовымъ ходить... Да еще и почище говорятъ... Я тебѣ-то и говорю: коли хочешь жениться—женись, у насъ домъ, слава тѣ Господи, не чужой, а до той поры и не ходи сюда. Вотъ что... А што мы цѣловались сегодня, такъ это ужъ въ послѣдній разъ до свадьбы.

— Вотъ вѣрно ты-то не хочешь выйти за меня?

— Я съ тобой и говорить до свадьбы не хочу.

— Однако говоришь... Прасковья Игнатьевна... Развѣ такъ принимаютъ жениха?

Прасковья Игнатьевна пошла прочь изъ огорода. Вошедши во дворъ, она заперла дверь на задвижку.

— Прасковья Игнатьевна!—кричалъ Петръ Савичъ.

Прасковья Игнатьевна не откликалась и минутъ черезъ пять отперла дверь и захохотала.

Когда Петръ Савичъ вошелъ во дворъ, Прасковья Игнатьевна спросила его:

— Молочка не хотите ли?

— Нѣтъ, покорно благодарю. Прощай...

— Прощайте... Такъ мои слова помнить будете?

— Я твою крестную мать буду просить.

— Ладно. Послѣ завтра я буду у нея—муки надо дать. А вы завтра не приходите. А что она скажетъ мнѣ, я скажу тебѣ въ воскресенье въ церкви.

Отецъ Курносова былъ казначеемъ главной конторы, и такъ какъ мѣсто это въ заводѣ считается очень выгоднымъ, то онъ имѣлъ въ фабричной улицѣ полукаменный домъ и нѣсколько тысячъ денегъ. У него былъ братъ, но съ братомъ онъ жилъ не въ ладахъ, да и братъ былъ просто нарядчикъ. Счастье, какъ говорятъ таракановцы, везло старшему брату, который разными кривдами и неправдами добился мѣста казначея. Самъ же казначей считалъ себя очень умнымъ человѣкомъ и гордился тѣмъ, что онъ съ тогдашнимъ управляющимъ въ молодости плавалъ на караванахъ, т. е. сопровождалъ металлы. Считая брата за невѣжду, грубаго человѣка, онъ не оказывалъ ему ни малѣйшей помощи, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ—человѣкъ честный и не желаетъ навлекать на себя непріятностей со стороны управляющаго. Меньшой братъ ненавидѣлъ его и все его семейство, кромѣ Петра, который частенько воровалъ у отца деньги и приносилъ дядѣ водки и бѣгалъ къ нему изъ училища. Если бы Петръ Савичъ не ходилъ къ дядѣ, то онъ впослѣдствіи, можетъ быть, и самъ сдѣлался бы казначеемъ. Но ему почему-то нравилось бывать у дяди, проводить по нѣскольку часовъ времени въ обществѣ его товарищей, и отъ нихъ-то онъ узналъ всю гадкую сторону и своего отца, и другихъ лицъ, которые почему-то ему не нравились. Такъ продолжалось до выпуска его изъ училища. Послѣ этого отецъ, желая дать ему еще болѣе образованія, отправилъ его доучиваться въ городъ на господское содержаніе; но въ первый же годъ обученія Петра Савича въ городѣ отецъ его умеръ, а домъ отъ не-

извѣстнаго случая сгорѣлъ со всѣмъ имуществомъ и деньгами, и начальство на этомъ мѣстѣ выстроило полицію. Кончилъ Петръ Савичъ ученіе и пріѣхалъ въ свой заводъ съ званіемъ учителя таракановской заводской школы, а такъ какъ въ заводѣ у него не было ни кола, ни двора, то онъ и приткнулся къ единственнымъ родственникамъ—сыновьямъ дяди, двумъ братьямъ, куреннымъ рабочимъ, холостымъ людямъ, жившимъ въ Козьемъ Болотѣ.

Отсюда началась его практическая жизнь, но жизнь полная борьбы, надломившая его силы очень рано.

Изъ завода въ городъ онъ уѣхалъ съ разными предразсудками, раздѣляя всѣ таракановскія убѣжденія. Въ то время онъ еще плохо понималъ отношенія крѣпостного начальства къ рабочимъ, и наоборотъ; но, проживши въ городѣ четыре года, онъ, такъ сказать, совершенно переродился, такъ что по пріѣздѣ въ заводъ красивая его внѣшность показалась ему гадкою. Съ первой же недѣли онъ хотѣлъ уѣхать изъ завода, но у него была задача: обучать дѣтей, и онъ принялся за это дѣло съ жаромъ.

Въ заводѣ полагалось два учителя: священникъ и учитель, на правахъ мастерового. Обучали въ школѣ чтенію, письму, ариѳметикѣ и закону Божію. Свѣтскіе учителя были пьяницы, на дѣло свое смотрѣли какъ на поживу, напримѣръ лѣтомъ посылали по грибы, по малину, заставляли полоть гряды у себя или у приказчика. Словомъ, это было не училище, а собраніе ребятъ для того, чтобы потѣшаться надъ ними, постегать ихъ, спросить по книжкѣ урокъ ради развлеченія и потомъ дать каждому какую-нибудь работу. Объ образованіи думалъ только нѣсколько законоучитель, но и тотъ приходилъ въ школу рѣдко. Правда, мальчиковъ въ школѣ было немного: туда отдавались дѣти состоятельныхъ родителей, а бѣдные были такого мнѣнія о школѣ, что тамъ ребята избалуются, да и нѣтъ у нихъ такихъ излишковъ, чтобы давать учителямъ подарки. Но какъ бы то ни было, школа существовала, мальчики ходили туда ради шалостей, а по выходѣ оттуда кое-какъ умѣли писать и мало-мальски знали ариѳметику. Поступилъ Петръ Савичъ учителемъ, растолковалъ ребятамъ ласково, какъ онъ будетъ учить ихъ, а началъ обученіе лаской, за что рабята полюбили его и охотно стали учиться. Къ ариѳметикѣ онъ добавилъ геометрію, исторію и географію и эти предметы не заставлялъ онъ силой учить, а кто желаетъ; однако пожелали всѣ, такъ что онъ затруднился на счетъ книгъ, купить которыя заводское начальство отказалось. Все шло хорошо: но въ первый же годъ заводскій приказчикъ, завѣдывавшій школой, бывши въ школѣ, приказалъ Петру Савичу, чтобы родители учениковъ принесли по рублю денегъ на книги. Зная очень хорошо, что книги обязана покупать главная контора, такъ какъ на содержаніе школы господиномъ назначена извѣстная сумма, Петръ Савичъ возразилъ, что онъ этого исполнить не можетъ, такъ какъ большинство родителей люди бѣдные и имъ дорога каждая копѣйка.

— Развѣ шустера бѣднѣе меня? Развѣ я не вижу каждый день пьяныхъ? Молокососъ!—закричалъ приказчикъ.

— Позвольте мнѣ исполнить свою обязанность: я здѣсь хозяинъ, а вы зритель.

— Что такое? Ты, свинья, ты эдакъ грубить?— и приказчикъ ударилъ по щекѣ Петра Савича. Тотъ не выдержалъ и самъ ударилъ по щекѣ приказчика.

Приказчикъ разсвирѣпѣлъ, ребята тряслись отъ испуга. Потребовалъ приказчикъ розогъ, чтобы выстегать учителя, но розогъ въ школѣ не было.

Потребовали Петра Савича къ управляющему заводомъ. Онъ объяснилъ, въ чемъ дѣло; тотъ сказалъ: «не твое дѣло! коли тебѣ приказываютъ, ты долженъ исполнять». И положилъ такую резолюцію на донесеніи главной конторы: «учителя Курносова за нанесеніе побоевъ заводскому приказчику въ школѣ, наказать въ школѣ же розгами двадцатью пятью ударами». Такъ учителя и выстегали въ школѣ въ присутствіи всѣхъ учениковъ и приказчика...

Съ этихъ поръ ребята съ недовѣріемъ стали смотрѣть на своего учителя, и такъ какъ онъ былъ смирный, розгами никого не дралъ, то они перестали заниматься дѣломъ, и если онъ кого-нибудь ставилъ на колѣни, то тотъ называлъ его «стеганымъ учителемъ». Въ другой разъ тотъ же приказчикъ замѣтилъ въ училищѣ геометрію. Смотрѣлъ онъ въ книгу долго, ничего не понялъ.

— Это што жъ? меня, кажись, такимъ фитулинамъ не обучали. Што это за арцы!

— Это геометрія.

— Бѣсовская книга. Хорошо!—И приказчикъ унесъ книгу, а на другой день потребовали учителя въ главную контору.

— Ты какимъ предметамъ обучаешь мальчиковъ?—спросилъ управляющій.

Петръ Савичъ сказалъ.

— Знаю. Геометрія вещь хорошая, но какое ты имѣешь право безъ моего, понимаешь, безъ моего разрѣшенія, преподавать ее? Развѣ мальчишки должны знать *все?* Это для насъ, понимаешь, для насъ, для дворянъ эта наука существуетъ.

— Я понимаю по моему убѣжденію такъ, что эта наука развиваетъ.

— Молчать! И если еще будешь преподавать какую-нибудь науку—въ рудники сошлю. Взяточникъ, мерзавецъ...

— Позвольте,—началъ было Петръ Савичъ; но управляющій всталъ съ кресла и крикнулъ:

— Подъ арестъ на недѣлю!!

Съ этихъ поръ у Петра Савича отпала охота учить дѣтей, и онъ сталъ проводить время то на фабрикахъ, то въ избахъ рабочихъ, не проповѣдуя имъ что-нибудь, а просто ради препровожденія времени. На фабрикахъ онъ учился, въ кузницѣ помогалъ лошадей подковывать и высказывалъ, что гораздо лучше бы было, если бы его обучили какому-нибудь мастерству,—«а то сдѣлали изъ меня учителя и не даютъ учить, какъ слѣдуетъ». А такъ какъ рабочіе въ компаніи непремѣнно пьютъ водку, а за неимѣніемъ водки пиво, настоенное на русскомъ табакѣ, который придаетъ пиву дурманъ, то и Петръ Савичъ сначала пробовалъ ради компан-

ства, а потомъ сталъ выпивать помногу и въ пьяномъ видѣ часто приходилъ въ экстазъ, т. е. начиналъ составлять различные планы, что онъ сочинитъ самому генералу прошеніе, въ которомъ опишетъ всѣ плутни заводскаго начальства, и завирался до того, что начиналъ говорить стихами, что до слезъ смѣшило рабочихъ, и они стали называть его не иначе, какъ стихоплетомъ.

А такъ какъ школу бросить было нельзя, потому что надо получать жалованье и провіантъ, то онъ ходилъ изрѣдка туда, и то съ похмелья; разсказывалъ ребятамъ сказки, разныя смѣшныя исторійки и рѣдко занимался своимъ дѣломъ, предоставивъ занятіе предметами старшимъ мальчикамъ. Мальчики обращались съ нимъ безцеремонно, курили табакъ въ школѣ, дрались и играли такъ, что онъ не могъ унять ихъ никакимъ манеромъ, и наконецъ, когда уже они совсѣмъ отбились отъ рукъ, онъ ввелъ розги; тогда ребята стали его побаиваться. Такъ онъ и учительствовалъ съ грѣхомъ пополамъ, пока его не отставили черезъ Игнатія Петровича Глумова, съ которымъ онъ познакомился съ тѣхъ поръ, какъ поселился у дяди въ Козьемъ Болотѣ. Глумовъ былъ, какъ описано выше, ярый человѣкъ; такой человѣкъ, какъ Петръ Савичъ, былъ ему съ руки, и они такъ сошлись другъ съ другомъ, что въ свободное время или Игнатій Петровичъ проводилъ часа два у Петра Савича, или тотъ у Глумовыхъ.

Поэтому много объяснять нечего о сближеніи Петра Савича съ Прасковьей Игнатьевной. Но это сближеніе случилось «не съ бухты барахты» или такъ: подошелъ, наговорилъ любезностей и въ первый же день приступилъ къ изъясненію своей любви; нѣтъ, до однѣхъ только ласкъ дѣло тянулось съ годъ, да до поцѣлуевъ—и то на вечеркахъ, на которые Петръ Савичъ былъ приглашаемъ, какъ музыкантъ на гитарѣ, — тоже годъ. Все это объясняется тѣмъ, что въ первое время, когда Петръ Савичъ ходилъ къ Глумовымъ, Прасковья Игнатьевна, по его же выраженію, была цвѣточекъ, до котораго и прикоснуться опасно, да и онъ въ то время былъ современныхъ убѣжденій и на женщину смотрѣлъ съ современной точки зрѣнія; вся его любезность къ женскому полу заключалась въ томъ, что онъ разсказывалъ разные анекдоты, а не увлекалъ ея пустыми вещами, идущими къ любовной цѣли, такъ какъ онъ и не думалъ жениться. Кромѣ того, Прасковья Игнатьевна, занятая хозяйствомъ въ то время, когда онъ приходилъ, не вступала съ нимъ въ разговоры и на него почти не обращала вниманія, такъ какъ она наравнѣ съ ребятами недолюбливала приказныхъ. Потомъ, когда онъ сталъ попивать водку и махнулъ рукой на всѣ идеи и рѣшилъ быть человѣкомъ практичнымъ, личность Прасковьи Игнатьевны стала ему показываться чаще и чаще. И сталъ онъ постоянно думать о ней и о себѣ думать, себя сравнивалъ съ ней — и разницы не находилъ, хотя и считалъ себя развитѣе ея... Когда же онъ раздумывался о настоящей своей жизни, о томъ, что дальше съ нимъ будетъ, то онъ прочь гонялъ мысль о женитьбѣ: у него нѣтъ лишней копѣйки, а зарабатывать деньги какимъ-нибудь ремесломъ онъ не въ состояніи, потому что и долота не умѣетъ правильно держать; разъ какъ-то сталъ доску пилить, пилу сломалъ. Но какъ ни старался гнать прочь мысль о женитьбѣ, но образъ любимой дѣвушки такъ и рисовался передъ нимъ... «Чортъ знаетъ, что такое дѣлается со мной!» говорилъ онъ и начиналъ играть на гитарѣ какую-нибудь пѣсню; заиграетъ, сердце такъ и ноетъ, хочется идти къ Глумовымъ, ну, и пойдетъ, а какъ увидитъ Прасковью Игнатьевну — сробѣетъ, слова не найдетъ сказать, а та еще попросту издѣвается надъ нимъ, несчастнымъ горемыкой.

А чѣмъ дальше, тѣмъ эта привязанность къ милому существу росла и росла, а тутъ не стерпѣлъ, пустился плясать съ Прасковьей Игнатьевной, да потомъ все съ ней и плясалъ, такъ что парни сердились на него и не разъ хотѣли побить, да сама Прасковья Игнатьевна заступилась за него; ну, а ужъ если дѣвушка заступается за кавалера, то тутъ дѣло не просто.

Родители часто между собой поговаривали: «а славный этотъ Петръ Савичъ; главное — голова у него золото. Вотъ бы нашей-то кралѣ. Съ его головой далеко можно уйдти». И приводили примѣры, какъ одинъ приказный, называвшійся въ заводѣ златописцемъ за то, что красиво переписывалъ, въ управляющіе вышелъ. И разъ даже, въ Успеньевъ день, подгулявшіе родители велѣли поцѣловаться молодымъ людямъ, что привело въ замѣшательство Петра Савича.

— А вѣдь краля не писанная, а настоящая...— хвастался Игнатій Петровичъ.

— Ну-ко, женишокъ, цѣлуйся, — настаивала мать, а за ней и гости.

Правда, что это была потѣха родителей подъ веселую руку, чего бы они не придумали въ другое время, но съ этихъ поръ Петръ Савичъ окончательно рѣшился жениться, и ни на комъ больше, какъ только на Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

— Ну, и заварилъ же я кашу! — думалъ часто Петръ Савичъ; но какъ ни думалъ, а все-таки приходилъ къ тому заключенію, что жениться лучше: тогда онъ привяжется къ дому, будетъ чѣмъ-нибудь заниматься; наконецъ будетъ выслуживаться или заискивать расположенія начальства, по пословицѣ: «съ волками жить, надо по-волчьи выть».

И Петръ Савичъ сталъ шить сапоги, чему онъ обучался болѣе года. Но работы было очень немного, потому что въ заводѣ были цеховые мастера получше его; рабочіе отдаютъ своимъ пріятелямъ, въ родѣ Тимофея Глумова, и за работу даютъ косушку или шкаликъ. Остается работать на городъ; но и это все-таки выходитъ на авось, да и его трехъ-рублеваго жалованья, какое онъ получаетъ изъ главной конторы за переписку бумагъ, едва-едва на полмѣсяца хватаетъ.

Еще осталась одна надежда: не сдѣлаютъ ли опять учителемъ, такъ какъ учительское мѣсто еще не занято. И онъ рѣшился сходить за протекціей къ священнику.

V.

Смутно и медленно просыпаются понятія таракановскихъ дѣтей. Долго они не понимаютъ смысла словъ, въ родѣ «женихъ, невѣста», которыми ихъ называютъ родственники за красоту, за высокій ростъ или за послушаніе и за какую-нибудь услугу, за которую подарить мальчика или дѣвочку не имѣется сластей. Потомъ они начинаютъ понимать, что женихъ и невѣста — это такія особыя личности, которыхъ будутъ вѣнчать въ церкви, а отсюда и вытекаетъ то обстоятельство, что въ заводѣ при каждой свадьбѣ дѣти наполняютъ церковь, желая узнать, что такое женихъ и невѣста. Это до десяти и до двѣнадцати лѣтъ. Съ этого времени родители часто ругаютъ дѣвицъ дылдами, дѣвицы спятъ зимой на полу, одѣвшись своими сарафанами: такъ пріучаютъ ихъ родители для того, чтобы онѣ вставали раньше матерей; попрекаютъ ихъ и тѣмъ, что онѣ много ѣдятъ и не умѣютъ ничего дѣлать, и, желая пріучить дѣвушку къ дѣлу, говорятъ: «вѣдь ужъ, слава тѣ Господи, невѣстой смотришь, хошь куды подъ вѣнецъ... Попадется вотъ ужо тебѣ мужъ—вышколитъ онъ тебя». Слова эти болѣе и болѣе врѣзываются въ голову дѣвушки, но она все еще не понимаетъ сущности словъ — жена и мужъ, и хотя она и поетъ пѣсни любовнаго содержанія, все-таки изъ этихъ пѣсенъ она не понимаетъ ни одного слова, даже не можетъ разсказать на словахъ отъ перваго до послѣдняго слова содержаніе пѣсни, и поетъ, какъ шарманка, для того, что хочется пѣть. Правда, дѣвушки играютъ въ клѣтки, въ куклы, называютъ куколъ женихами и невѣстами, клѣтки домами, комнатами, но это не болѣе, не менѣе, какъ представленіе того, что онѣ замѣтили, что онѣ слышали и чего не могли понять. Но вотъ матери говорятъ дѣвушкамъ, чтобы онѣ не долго ходили туда-то; усиливаютъ надъ ними надзоръ такъ, что частенько доводятъ ихъ до слезъ: хочется на улицу выйти — поиграть или попѣть, и вдругъ не велятъ, а прежде можно было. И если дѣвушка гдѣ-нибудь замѣшкается или заговорится съ какимъ-нибудь парнемъ на глазахъ матери, то ее ругаютъ и даже бьютъ, объясняя при этомъ, что она не большая, чтобы ей калякать съ парнями. Съ пятнадцатилѣтняго возраста, когда дѣвушка обязана въ домѣ дѣлать все, она уже сама стѣсняется идти одна въ лѣсъ, сперва за земляникой, потомъ за грибами и за малиной, потому что, во-первыхъ, въ домѣ ее всѣ называютъ невѣстой, взыскивая уже какъ съ большой, а во-вторыхъ, она уже замѣчаетъ и со стороны другихъ, въ особенности парней, другое обращеніе. Но лѣтомъ еще весело: теплое время какъ-то не заставляетъ дѣвушку много задумываться, потому что тогда у нея есть кой-какія развлеченія: есть огородъ, гдѣ она поетъ; ходитъ съ подругами въ лѣсъ и тамъ поетъ; въ праздничный хорошій день она тоже поетъ съ дѣвушками пѣсни въ хороводахъ и даже играетъ съ парнями въ мячикъ. А зимой она постоянно находится въ домѣ и въ свободное время или прядетъ, или вяжетъ, или что-нибудь починиваетъ и въ это же время преимущественно думаетъ и думаетъ о томъ: неужели и она скоро будетъ замужемъ, и какимъ образомъ это устроится? И воспоминаетъ все, что ею усвоено доселѣ: жизнь ея подругъ, лѣтнія сцены, прошлогоднія вечерки— и при послѣднемъ представленіи она чувствуетъ трепетъ и въ то же время что-то радостное. Наступаетъ время вечерокъ, родители безпрекословно отпускаютъ дѣвицъ на вечерки, даже дозволяютъ имъ мазать лицо мѣломъ, брови сажей, даютъ зипуны и т. д. Съ радостью бѣжитъ дѣвушка на вечерку, гдѣ участвуютъ преимущественно молодые люди обоихъ половъ, приглашенные по выбору родителей. Приходитъ она туда, ее сначала осмѣиваютъ, потомъ садятъ, угощаютъ орѣхами и пряниками; парни острятъ то надъ той, то надъ другой дѣвицей, щиплятся, потому что здѣсь это дозволяется, и чѣмъ рѣчистѣе и острѣе парень, тѣмъ онъ больше нравится дѣвицѣ, такъ что всѣ его дурныя стороны, обиды, какія онъ нанесъ дѣвушкѣ до сихъ поръ, теперь забываются. Потомъ начинаются пляски съ различными пѣснями. Прежде дѣвушка только пѣла эти пѣсни, не понимая въ нихъ ни одного слова, здѣсь же, послѣ каждаго періода, слѣдуетъ поцѣлуй... Къ концу вечерки полный разгаръ: дѣвицы и парни уже выпили не по одной рюмкѣ сладкой водочки, каждая дѣвица къ одиннадцати часамъ получила до сотни поцѣлуевъ, лицо ея разгорѣлось, кровь волнуется, съ парнями она какъ со своими братьями обращается, парни ей милы, ей хочется еще плясать, плясать всю ночь съ ними, и она пляшетъ до устали, кончая послѣдней пѣсней, повторяющейся по нѣскольку разъ. Пѣсня эта заключается въ слѣдующемъ: посреди комнаты поставятъ стулъ, на этотъ стулъ садится парень, вокругъ этого парня ходятъ дѣвушки съ своими кавалерами, такъ что Марью держитъ за лѣвую руку Павелъ, правую руку Ивана держитъ Саша, лѣвую Павла Прасковья и т. д.; идя медленно, всѣ они поютъ протяжно пѣсню:

Сидитъ дрема, (2 раза)
Сидитъ дрема, сама дремлетъ.
Полно, дремушка, дремати:
Время дремѣ, (2 раза)
Время дремѣ выбирати.
Бери, дрема, (2 раза)
Бери, дрема, кого хочешь.

Въ это время парень, сидящій на стулѣ въ кругу, долженъ выбрать дѣвушку изъ круга, и онъ схватываетъ ту, которая ему болѣе нравится. Кругъ поетъ:

Сади, дрема, (2 раза)
Сади, дрема, на колѣни.

Парень садитъ дѣвицу на колѣни, обнимаетъ. Кругъ поетъ:

Цѣлуй, дрема, (2 раза)
Цѣлуй, дрема, сколько хочешь.

Парень радъ случаю, а дѣвица, если ей не по нраву парень, не рада, что попала къ нему, но ужъ порядокъ такой—надо его выполнять съ точностью.

Вечерки и балы одно и то же. На вечеркѣ пляшутъ дѣвушки необразованныя, дѣвушки рабочія, которыя еще не состроили себѣ идеаловъ, потому

что ихъ умственное развитіе сосредоточивается на тѣхъ же заводскихъ людяхъ, которыхъ они или знаютъ, или видятъ; цивилизованный классъ устраиваетъ балы, маскарады и проч., и дѣло все-таки кончается тѣмъ же, только въ болѣе изящномъ видѣ.

Послѣ этихъ вечеринокъ заводская дѣвушка начинаетъ скучать болѣе прежняго, начинаетъ серьезно подумывать о томъ парнѣ, который больше нравился ей на вечеркѣ, и если она бываетъ на вечеркахъ часто, то эти пляски и поцѣлуи доводятъ ее до привязанности къ молодому человѣку, о которомъ она думаетъ и день, и ночь. То же самое происходило и съ Прасковьей Игнатьевной. Такъ какъ она была самая красивая дѣвушка въ своемъ порядкѣ, то у нея много было поклонниковъ, что очень не нравилось ея подругамъ, и онѣ постоянно корили ее тѣмъ, что она своей *намазанной рожей* всѣхъ парней отбила отъ нихъ. Но Прасковья Игнатьевна не чувствовала особенной привязанности ни къ одному парню, такъ какъ она не знала, кто изъ нихъ лучше и милѣе; къ тому же она была дѣвушка гордая, считала себя красивой, а въ каждомъ парнѣ находила многіе недостатки. Такъ было до шестнадцати-лѣтняго возраста, когда ее въ Козьемъ Болотѣ всѣ стали называть невѣстой. На шестнадцатомъ году ей понравился одинъ парень Семенъ Горюновъ. Она его видѣла въ первый разъ, поэтому-то вѣроятно онъ и заинтересовалъ ее. Парень этотъ былъ изъ фабричнаго порядка. Надумавшись раньше, что ее рано или поздно родители отдадутъ замужъ, она между прочимъ составила себѣ такой идеалъ своей любви: женихъ долженъ быть моложе ея, красивъ, рѣчистъ, умѣлъ бы ее ласкать, не ругался бы разными словами, а все бы сидѣлъ съ ней да говорилъ ей хорошія рѣчи. Главное, чтобы онъ не былъ пьяница и драчунъ. На вечеркѣ Семенъ Горюновъ явился дѣйствительно такимъ: это былъ румяный, высокій парень, одѣтый чисто. Велъ онъ себя и прилично, и съ достоинствомъ, при этомъ, какъ узнала тутъ же Прасковья Игнатьевна, онъ былъ сапожникъ и человѣкъ трезвый. Прошло четыре вечерки. Горюновъ только съ ней и пляшетъ, и она такъ привязалась къ нему, что почти каждый праздникъ отпрашивалась у матери къ обѣднѣ и проходила съ нимъ нѣсколько улицъ, несмотря на остроты парней и насмѣшки дѣвицъ. Но выйти замужъ за него не было суждено Прасковьѣ Игнатьевнѣ; Семенъ Горюновъ послѣ Пасхи женился на дочери штейгера...

А въ это время въ домъ Глумовыхъ уже часто ходилъ Петръ Савичъ и приходилъ постоянно трезвый.

Замѣчая привязанность ея родителей къ учителю, вниманіе учителя къ ней, частые подарки его и ласковый разговоръ, она, разобиженная поступкомъ Горюнова, считала всѣхъ парней обманщиками, стала подумывать, не лучше ли ей выйти замужъ за человѣка старше ея, такого человѣка, котораго и отецъ ея любитъ. Стала она считать жениховъ на Козьемъ Болотѣ и Медвѣдкѣ, насчитала ихъ много, но всѣ они оказались неподходящими: такъ Яковъ Переплетчиковъ, парень 20 лѣтъ, хоть и видный и водки мало пьетъ, но она никогда не проститъ ему, что онъ ей, пятнадцатилѣтней дѣвицѣ, угодилъ мячикомъ въ самый затылокъ, когда она шла съ водой, отъ чего она упала въ грязь и такъ замарала подолъ, что мать отодрала ее по спинѣ плеткой. У отца Павла Безпалова денегъ много, потому онъ раскольничьимъ попомъ въ лѣсахъ; да что за радость выходить за хромого? Иванъ Ѳотѣевъ тоже недурной парень, но мать у него нехорошая женщина, потому что Маланью Степановну до сихъ поръ считаетъ воровкой, тогда какъ сама украла у нихъ двѣ курицы съ пѣтухомъ и продала на рынкѣ. Есть, правда, еще женихъ въ Медвѣдкѣ, Василій Глумовъ; онъ часто что-то ходилъ къ отцу, но онъ какой-то гордецъ, никогда даже слова ей не сказалъ, хвастается, что онъ мастеръ, ругалъ отца за непорядки какіе-то, и главное—сказываютъ, что у него сестра скверная женщина. Всѣ эти женихи, перебранные Прасковьей Игнатьевной, были, что называется, люди стоящіе, и о нихъ не одинъ десятокъ дѣвицъ подумывалъ: но Прасковью Игнатьевну бѣсило еще то, что ни одинъ изъ нихъ не сказалъ ей ни одного любезнаго слова, не только-что не посылалъ свахъ къ матери.

Отецъ часто говорилъ матери Прасковьи Игнатьевны, что Петръ Савичъ золотой человѣкъ, какъ будто бы намекая дочери, что такого жениха не скоро сыщешь, потому что онъ уменъ и непремѣнно дойдетъ до важной должности. А этого Прасковьѣ Игнатьевнѣ было достаточно, и она стала подумывать о Петрѣ Савичѣ, сравнивая жизнь своего отца съ его жизнью. Жизнь рабочаго человѣка она хорошо понимала; нужду и горе она видѣла на каждомъ шагу. Выйди она за мужъ за рабочаго человѣка,—заботы будетъ много, а съ ребятами и вдвое. И она стала мечтать о лучшей жизни, приравнивая къ рабочимъ приказныхъ. Приказныхъ она не любила до тѣхъ поръ, пока не ознакомилась съ Петромъ Савичемъ, и однако находила, что жизнь приказнаго не въ примѣръ лучше жизни рабочаго: считаются они на линіи мастеровъ; въ рудникахъ и въ лѣсу не работаютъ; находятся въ виду начальства, содержанія получаютъ больше рабочихъ, жены ихъ ходятъ нарядѣе рабочихъ, дома они имѣютъ порядочные, и хоть какъ ни ругаютъ ихъ рабочіе, а все же къ нимъ обращаются съ просьбами. Все это соблазнительно дѣйствовало на требовательную натуру Прасковьи Игнатьевны, ей захотѣлось выйти изъ рабочаго кружка, довольно грубаго вездѣ, и выборъ ея остановился на заводскомъ учителѣ Петрѣ Савичѣ. Стала она плясать съ Петромъ Савичемъ, и на первыхъ порахъ ей обидно становилось, что онъ какъ-то неохотно цѣлуетъ ее; но она это простила ему, потому что онъ если не поцѣлуями любезенъ, то занимателенъ разговорами: о чемъ ни спроси, все объяснитъ, какъ по писаному, да и она, поговоривши съ нимъ въ углу на счетъ поцѣлуевъ, согласилась, что дѣйствительно много цѣловаться приторно, и даже ска-

зала Петру Савичу, что она охотно бы вовсе перестала цѣловаться на вечеркахъ, такъ какъ почти отъ всѣхъ, кромѣ Петра Савича, изо рта или лукомъ или чеснокомъ пахнетъ. Мало-по-малу молодые люди стали разговаривать другъ съ другомъ, стали поигрывать въ карты при родителяхъ, острили другъ надъ другомъ, и Прасковья Игнатьевна все болѣе и болѣе привязывалась къ нему и приходила къ заключенію, что Петръ Савичъ именно такой и есть человѣкъ, какой ей нуженъ.

Но вотъ Петръ Савичъ сталъ жаловаться на скверное житье, что его, Богъ знаетъ за что, тѣснятъ; стала она замѣчать, что онъ чаще и больше пьетъ водку, даже къ нимъ приходилъ выпивши, отца уводилъ съ собой, и потомъ отецъ возвращался домой пьяный и ругался. Сердце ныло у Прасковьи Игнатьевны, она подолгу задумывалась надъ тѣмъ: неужели Петръ Савичъ собьется съ толку и выйдетъ совсѣмъ негоднымъ человѣкомъ? А такихъ примѣровъ она знавала много. Но опять ей жалко становилось его, потому что дѣйствительно, какъ онъ говорилъ, его понапрасну тѣснятъ. Умеръ отецъ; Петръ Савичъ лишился должности; сосѣди говорили, что въ этомъ дѣлѣ виноватъ одинъ Петръ Савичъ, какъ выскочка, который вездѣ суется первый, но Прасковья Игнатьевна находила, что Петръ Савичъ все-таки правъ; она на его мѣстѣ то же бы сдѣлала, и ее, какъ женщину, скорѣе выслушали бы, потому что съ нея взятки гладки. Передъ самой смертью отца Петръ Савичъ изъяснился ей въ любви, и она повѣрила этой любви, и не находила въ ней ничего дурного. Послѣ смерти ея отца Петръ Савичъ рѣдко сталъ ходить въ домъ Глумовыхъ, на томъ основаніи, что не хорошо ходить холостому мужчинѣ въ домъ, гдѣ хозяйка—дѣвушка, и Прасковью Игнатьевну часто безпокоило, что дѣлается съ Петромъ Савичемъ. Спрашивала она вскользь о немъ Тимофея Петровича, но тотъ шутливо отвѣчалъ: «што ему: пьетъ поди да просьбы строчитъ». Это очень огорчало Прасковью Игнатьевну: она стала сердиться на дядю и подозрѣвать, что онъ пожалуй разстроитъ ея счастье.

Послѣ описаннаго выше разговора Петра Савича и Прасковьи Игнатьевны она долго не могла заснуть ночью. Ее мучала мысль: каковъ-то будетъ дальше Петръ Савичъ. Изъ разговора его она замѣтила, что онъ какъ будто холоднѣе, чѣмъ былъ прежде. «А если онъ все такъ же будетъ вести себя, тогда наплевать», думалось ей. Но ей будетъ скучно безъ друга; работы и заботы по хозяйству много, и для чего это? «Хлопочешь, хлопочешь съ утра до вечера—и ни отъ кого спасиба не получишь, не съ кѣмъ даже слова сказать или поговорить толкомъ. Заговоришь съ дядей, онъ отшучивается, считаетъ тебя дѣвкой, съ которой не стоитъ много разговаривать, или начнетъ говорить о Петрѣ, сведетъ на Ивана. На улицу выйдешь, бабы смѣются, надоѣдаютъ спросами да разспросами: «а скоро ли у тя, Игнатьевна, свадьба-то?». Дѣвицы говорятъ: «какого ты, Глумиха, женишка-то подцѣпила: учитель, да еще стеганый». А посовѣтываться не съ кѣмъ: крестная мать глухая, все надо кричать, такъ что еще кто подслушаетъ, да передастъ съ прикрасами... То ли было бы дѣло, если бы я была замужняя... вдова... какъ бы захотѣла, такъ бы и сдѣлала».

Такъ думала Прасковья Игнатьевна и додумалась, что Петръ Савичъ человѣкъ хорошій, только водку пьетъ. «Ну, я буду дожидаться», говорила она, «какъ только онъ получитъ какую-нибудь должность да не будетъ пить водку, я объявлю ему, что я согласна быть его женой, и условіе такое выговорю: жить въ нашемъ домѣ, не обижать мамоньку и поблажать ей. Деньги штобы онъ мнѣ отдавалъ, я ужо буду пиво варить, такъ оно и дешевле будетъ, и онъ отъ водки отстанетъ; а это конпанство,—чтобы его и духу не было. Надо опять и то принять въ разсчетъ, што у насъ дѣти будутъ. А если я замѣчу, што онъ все такъ же будетъ пьянствовать, я и на глаза его не пущу; потому, коли хочешь мнѣ мужемъ быть, долженъ любить меня, а што я его прошу, да онъ не исполнитъ,—разѣ это любовь? И ни за кого ужъ я потомъ не пойду замужъ, потому послѣ этого выходитъ, что всѣ мужчины обманщики, и ни одному ихнему слову нельзя вѣрить. А одна-то я проживу какъ-нибудь, потому огородъ у меня неотъемлемый, лошадь тоже своя: захотѣла—съѣздила въ лѣсъ, дровъ нарубила, руки-то, славу Богу, не отпали... корова своя»...

VI.

Петръ Савичъ жилъ въ старомъ порядкѣ съ роднымъ братомъ Иваномъ Яковлевичемъ. Домъ у Ивана Яковлевича былъ новый и состоялъ изъ кухни и комнатки, которая называлась свѣтелкой: въ ней было три окна и довольно свѣтло, а стѣны и потолокъ оклеены бумагой. Здѣсь было довольно чисто, даже больше было мебели, посуды и одежды, чѣмъ въ домѣ Глумовыхъ. И это потому, что Иванъ Яковлевичъ женился не на безприданницѣ, получилъ за нею перину, три подушки, халатъ и даже самоваръ, такъ какъ родныя невѣстки были православныя и любили въ праздникъ пить чай. Иванъ же Яковлевичъ еще въ дѣтствѣ отсталъ отъ раскола. Жена Ивана Яковлевича, нельзя сказать, чтобы была красивая, но женщина молодая, здоровая, полная, и главное — у нея въ рукахъ дѣло скоро дѣлалось. У нихъ былъ уже ребенокъ — дѣвочка, которая еще качалась въ зыбкѣ. Ребенка всѣ любили; даже Петръ Савичъ по нѣскольку разъ бралъ маленькаго червячка, какъ онъ называлъ малютку Марью, и училъ ее Богу молиться, знать папу, маму и дядю. Ребенокъ былъ бойкій, дядю любилъ даже больше своихъ родителей: при первомъ словѣ отца или матери: «а гдѣ Божинька?» ребенокъ обращалъ головку къ двумъ образамъ, висѣвшимъ въ переднемъ углу, и колотилъ правой рученкой по груди, что очень забавляло не только родителей, но и постороннихъ.

Иванъ Яковлевичъ преимущественно занимался дѣланіемъ кадокъ, бочонковъ и набиваніемъ на тѣ и на другіе обручей желѣзныхъ и деревянныхъ, и такъ какъ во всемъ заводѣ было только двое мастеровъ по этой части, то работа у него была все-

гда, только половина денегъ уходила на водку. Впрочемъ, онъ пилъ не постоянно; но если ему попадалась рюмка водки, то его уже трудно было остановить, и если бы жена не приберегала деньги, не запирала накрѣпко вещи и потомъ не уходила куда-нибудь, то пришлось бы плохо обоимъ, такъ какъ у нихъ корова еще была очень молода и молока давала мало. Трезвый Иванъ Яковлевичъ былъ славный человѣкъ; постоянно занимался дѣломъ, не совался въ женское хозяйство и, занимаясь чѣмъ-нибудь, больше напѣвалъ пѣсни; но пьяный онъ лѣзъ драться, хоть будь тутъ и другъ и врагъ, отчего и самъ бывалъ частенько битъ. Жена его, Маремьяна Кирилловна, была существо смирное, тихое, такъ что если она куда-нибудь сядетъ съ шитьемъ или съ чулкомъ, только и слышно ее, когда она съ ребенкомъ возится.

Петръ Савичъ любилъ эту семью, которую онъ называлъ голубями, и завидовалъ ихъ жизни. Иванъ же Яковлевичъ съ женой тоже были ласковы съ нимъ, отъ угла и стола не отказывали; но пьяный Иванъ Яковлевичъ кидался на Петра Савича съ кулаками и тузилъ его въ спину за то, что Петръ Савичъ будто бы пріудариваетъ за его женой, причемъ, если тутъ была Маремьяна Кирилловна, доставалось и ей на калачи. Впрочемъ трезвый Иванъ Яковлевичъ говорилъ Петру Савичу: «ну, ты, братъ, не сердись, что я тебя побилъ. Нравъ у меня ужъ такой дрянной съ дѣтства. Вся моя забава въ жизни—напиться и подраться съ кѣмъ-нибудь, кто на глаза попадется... А што я тутъ жену приплелъ, такъ это тоже шутка, потому я ее знаю и тебя знаю; вѣдь шила въ мѣшкѣ не утаишь».

На другой день послѣ свиданія съ Прасковьей Игнатьевной, утромъ, напившись чаю, Петръ Савичъ принялся было за починку своихъ сапогъ. Поковырявъ немного шиломъ подошвы, онъ вдругъ обратился къ Ивану Яковлевичу, затоплявшему въ кухнѣ печь, потому что Маремьяна Кирилловна кормила грудью ребенка.

— Послушай-ко, братъ, што я у тебя хочу попросить...

— Ну?

— Нѣтъ ли у тебя съ рубль денегъ?

— На што опять? На водку, поди, — взъѣлся Иванъ Яковлевичъ.

— Нѣтъ, мнѣ на дѣло нужно. Знаешь ли, что̀ я хочу сдѣлать?—хочу я угостить нашего казначея я отца Петра.

— Выдумывай. Такъ вотъ и пошелъ сюда казначей.

— Думаешь—не пойдетъ?

— Даю руку на отсѣченіе. Если бы ты учителемъ былъ въ школѣ и тогда бы онъ не пошелъ, а сказалъ бы: «приду!» ну и жди его: покамѣстъ бы стали ждать, водку и выпили бы. Да на што тебѣ непремѣнно казначей понадобился, да еще съ отцомъ Петромъ?

— Я думаю опять въ учителя пробраться.

— Гм!.. Ну, это мудрено што-то послѣ такой исторіи, какъ глумовская. Ну, а твоя невѣста што?

Петръ Савичъ на это ничего не отвѣчалъ.

— Ты, братъ, не сердись, право... А вотъ не лучше ли тебѣ сходить къ Переплетчикову. Приказчикомъ-то онъ недавно, теперь принимаетъ всякія просьбы, потому дѣло новое, нельзя же сразу цѣпной собакой сдѣлаться. А онъ, слыхалъ я, братъ, изъ ученыхъ; въ столицѣ бывалъ. Это что-нибудь да значитъ.

Петръ Савичъ поковырялъ еще сапогъ, положилъ его подъ лавку и сталъ одѣваться.

— Не знаю, что будетъ,—говорилъ Петръ Савичъ.—Послѣ такой исторіи мнѣ, право, совѣстно проситься опять туда же, откуда выгнали. Проклятое житье!

— Гордость одна тебѣ мѣшаетъ. Вѣдь тоже жили же до тебя учителя, да еще какіе дома настроили: въ двѣ да въ три горницы.

— А честно ли свое дѣло-то они исполняли?

— Найди ты честнаго человѣка, я тебѣ полштофъ водки поставлю. Право! Да вотъ хоть бы я: честно это заводское добро воровать? Вѣдь я желѣзо беру изъ кузницы, а знаю, что оно воровское и мнѣ попадаетъ почти даромъ. А што я заклепываю обручи дома,—это тоже развѣ честно, потому что полиціи то и дѣло боишься; хорошо еще, нѣтъ такого молодца, который бы донесъ. А вѣдь все нужда. Такъ и ты съ своей гордостью шляйся по-міру.

— Да я тебѣ заплачу за все...

— Ну, другъ, я тебя словомъ не обидѣлъ, а только говорю къ дѣлу. Вотъ ты тоже думаешь жениться; ну, и поживи...

— Полно тебѣ, Иванъ Яковлевичъ, толковать-то пустяки! Когда, такъ отъ него слова не дождешься, а тутъ такъ ужъ больно рѣчистъ сталъ,—сказала мужу Маремьяна Кирилловна.

Иванъ Яковлевичъ замолчалъ, а Петръ Савичъ вышелъ.

Не весело у него было на душѣ. Все, что̀ онъ видѣлъ теперь вокругъ себя, казалось мрачно; люди, попадавшіеся ему навстрѣчу, казались какими-то врагами; онъ злился, самъ не зная на что. «Вотъ даже и сродный братъ гонитъ изъ дому», подумалъ онъ, и чѣмъ больше думалъ на эту тему, тѣмъ болѣе приходилъ къ такому заключенію, что, дѣйствительно, Иванъ Яковлевичъ правъ. Онъ мастеръ, бьется изо всѣхъ силъ, чтобы достать досокъ, обдѣлать эти доски и сдѣлать вещь такъ, чтобы она была прочна и хороша и чтобы заказчики не бранили его. И все это онъ дѣлаетъ за небольшую цѣну. А надо же прокормить себя, жену, надо же и на черный день запастись чѣмъ-нибудь. Мало ли какіе могутъ быть случаи. А онъ-то, Петръ Савичъ, помогъ ли Ивану Яковлевичу чѣмъ-нибудь? Да, помогалъ ему выпивать водку. И вотъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ лишился учительскаго мѣста, прошелъ уже годъ, а онъ все живетъ у брата, ни копейки не отдавая ему, точно тотъ обязанъ кормить его. Поневолѣ человѣкъ выскажется.

Съ такими мыслями дошелъ онъ до главной конторы. Тамъ, въ первой комнатѣ, онъ увидѣлъ приказчика, который разговаривалъ о чемъ-то съ казначеемъ. Поклонившись обоимъ, онъ ушелъ въ другую комнату, гдѣ занимался постоянно. А такъ

какъ у него не было сегодня дѣла, то онъ приткнулся къ двумъ писцамъ, тоже сидящимъ безъ дѣла и разговаривающимъ о рыбной ловлѣ на пруду.

— Вотъ ты, Петръ Савичъ, не ходишь рыбачить, а я вчера сорокъ штукъ карасей поймалъ.

Петръ Савичъ промолчалъ; ему хотѣлось спросить: въ которомъ часу приказчикъ принимаетъ просителей, но вдругъ его позвалъ казначей.

— Вотъ что, Курносовъ; приказчику нужно переписать одну вѣдомость, такъ ты отправься къ нему. Да смотри, скажи, что, молъ, казначей забылъ передать вамъ, чтобы ему привезли на дворъ саженъ пятьдесятъ дровъ.

— Гдѣ же я буду переписывать?

— Конечно въ конторѣ.

— Я все хочу побезпокоить васъ насчетъ учительства.

— Ну, ужъ это, братъ, пѣсня старая. Оно хотя и нѣтъ учителя и теперь бы это дѣло можно устроить, да управляющій-то какъ? Вѣдь онъ тебя знаетъ.

— Но вы можете сказать, что смѣненный приказчикъ былъ самъ скверный человѣкъ.

— Это можно. Ну, а ты что бы мнѣ далъ за хлопоты?

— Вы знаете, что у меня ничего нѣтъ.

— Я тебя научу. Теперь лѣто; какъ только ты получишь мѣсто учителя, пошли за мальчишками, кромѣ моего парнишка, и объяви имъ, что-де управляющій приказалъ имъ: гдѣ хотятъ, а чтобы на другой денъ было поймано пятокъ скворцовъ.

— А если они не поймаютъ?

— Это ужъ ихнее дѣло. Скажи, какъ знаешь; въ работу или какъ... Тогда и ты можешь поживиться.

Еще злѣе сдѣлался Петръ Савичъ, но дѣлать было нечего: Иванъ Яковлевичъ говорилъ правду, добромъ здѣсь безъ хлѣба насидишься.

Кончилъ онъ работу приказчику и явился къ нему вечеромъ. Тотъ прочиталъ и довольно вѣжливо спросилъ его:

— Ты гдѣ воспитывался: въ заводѣ или въ городѣ?

— Въ городѣ. Назадъ тому годъ я былъ здѣсь учителемъ, но бывшій приказчикъ допекъ меня за то, что я преподавалъ геометрію.

— Скотина! Такъ развѣ наша школа безъ учителя?

— Да.

— Хорошо. Я управляющему сегодня же скажу о тебѣ и велю назвать школу училищемъ съ двумя свѣтскими учителями и законоучителемъ.

— Я еще хочу спросить васъ: какъ я долженъ поступать въ такихъ случаяхъ, если будутъ получаться приказанія со стороны начальства: напримѣръ посылаютъ мальчиковъ рыбу ловить, велятъ приносить денегъ на образъ.

— Ну?

— Я нахожу, что это несправедливо.

— Конечно. Я этого не допущу въ училищѣ... Завтра же ты собери всѣхъ ребятъ, которые учатся, и объяви имъ, что я послѣ-завтра буду. Чтобы они всѣ одѣлись чисто, вымылись въ банѣ и волосы остригли; понимаешь, по-городски... И если я найду училище въ порядкѣ, прикажу тебѣ выдать пособіе. Женатъ?

— Никакъ нѣтъ. Хочу жениться.

— Прекрасное дѣло. Учитель непремѣнно долженъ быть женатымъ. А если казначей спроситъ дровъ, такъ ты скажи ему, что я подумаю. Лѣсъ-то вѣдь не мой, господскій.

И веселъ же вышелъ отъ приказчика Петръ Савичъ. Такой справедливости и милости онъ еще не знавалъ доселѣ въ заводскомъ крѣпостномъ начальствѣ. А радоваться ему было отчего, потому что ужъ если что сказалъ приказчикъ, такъ тому и быть; недаромъ приказчикъ въ заводѣ первое лицо послѣ управляющаго, недаромъ приказчикъ всѣми заводскими дѣлами заправляетъ...

Повеселѣлъ и Иванъ Яковлевичъ; на радостяхъ онъ купилъ водки и закутилъ...

Созваны были мальчики въ школу, явился туда и приказчикъ. Ребята были дѣйствительно причесаны, умыты, рубашенки тоже прилажены. При появленіи приказчика они по обыкновенію крикнули: «здравія желаемъ!»

— Ну, ребята, вотъ вамъ учитель. Школа теперь преобразована въ училище, и предметовъ въ ней будетъ больше. Слушать учителя! А ты, учитель, дери ихъ, какъ только можно. Слышите?! Всѣ приказанія учителя исполнять, иначе на работы сошлю. Ну, теперь по домамъ до августа мѣсяца.

Сказавъ это, приказчикъ ушелъ.

Петръ Савичъ былъ введенъ въ учителя.

Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить, что мальчики, образующіеся въ школѣ или заводскомъ училищѣ, не только освобождаются отъ работъ, но получаютъ отъ заводоуправленія, по положенію, провіантъ и даже деньги,—нѣсколько копѣекъ въ годъ. По окончаніи ученія въ школѣ они поступаютъ, если годны, въ писаря.

Пошелъ Петръ Савичъ въ главную контору; тамъ казначей, поздравивъ его съ учительской должностью, спросилъ:

— А скворцы?

— Приказчикъ объявилъ ученикамъ, чтобы они, кромѣ ученія, никакихъ порученій не исполняли.

— Хорошо. Я спрошу приказчика... Изволь-ка вотъ это переписать...

Черезъ недѣлю Петръ Савичъ получилъ пособія пятнадцать рублей, и ему назначили по должности учителя пять рублей жалованья и двойной паекъ провіанту; выдали также и билетъ на порубку лѣса въ двойномъ количествѣ противъ количества, назначеннаго писарямъ.

Прошло двѣ недѣли, а Петръ Савичъ не являлся къ Прасковьѣ Игнатьевнѣ: онъ то хлопоталъ о деньгахъ, то о провіантѣ, то гулялъ съ пріятелями, а тутъ на недѣлю уѣзжалъ въ городъ за покупкой обновъ къ свадьбѣ, но и въ хлопотахъ онъ все-таки не забывалъ свою невѣсту, — она была для него теперь дороже всѣхъ.

А между тѣмъ въ эти дни недѣли Прасковья Игнатьевна много передумала худого и хорошаго на счетъ Петра Савича.

Въ ту ночь, когда она составила планъ будущности, ей приснилось, что она обрѣзала свою косу; когда она пробудилась, ее пробрала дрожь отъ этого сна. Таракановцы вѣрятъ въ сны и многіе изъ нихъ они отгадываютъ. Такъ, обрѣзать косу во снѣ— значитъ быть большому несчастью; влѣзать на гору—то же, и т. п. Поэтому Прасковья Игнатьевна, дѣвушка суевѣрная, очень испугалась и стала думать: какое такое съ ней—именно съ ней—случится несчастье? Развѣ корову украдутъ? Но вѣдь она себѣ обрѣзала косу. Развѣ мать умретъ? Но она хоть и мать, а все-же жалко на нее смотрѣть, ужъ хоть бы она померла. Нѣтъ! несчастье должно непремѣнно съ ней случиться, и несчастье большое...

Затопила она печь, управилась съ коровой, овечками, курами. Тимофей Петровичъ сталъ одѣваться.

— Ты, дядя, куда?

— Туда, гдѣ насъ нѣтъ.

— Обѣдать будешь?

— Объ этомъ сорока на двое сказала.

«Толкуй съ дуракомъ», подумала Прасковья Игнатьевна и занялась своимъ дѣломъ; однако спросила дядю:

— Слышь, дядя, какой я сегодня сонъ видѣла: косу обрѣзала... Такъ-таки по корень обрѣзала. А куды ее дѣла, не знаю.

Тимофей Петровичъ подумалъ немного, приложилъ указательный палецъ правой руки къ правой ноздрѣ, и отпятивъ лѣвую ногу впередъ, съ достоинствомъ знатока сказалъ:

— Эко дѣло! Женихъ, надо быть, улизнетъ.

— Ужъ отъ тебя не жди, хорошаго,—сказала обиженная Прасковья Игнатьевна.

Дядя ушелъ, а Прасковья Игнатьевна стала ходить изъ горенки въ избу, сама не зная зачѣмъ. Она, казалось, ни о чемъ не думала. Потомъ остановилась у зеркала, поглядѣла въ него и вдругъ вскрикнула и убѣжала во дворъ. На нее напала дрожь.

— Дѣвка!—услыхала она знакомый голосъ.

Недалеко отъ нея стояла мать съ охапкой картофельной мякины.

Прасковья Игнатьевна подошла къ ней и вдругъ кинулась ей не шею.

— Мамонька! голубушка...

Маланья Степановна присѣла и начала выть. Повыла она немного и стала ругаться. Прасковья Игнатьевна испугалась за мать. Въ это время пришелъ Илья Игнатьевичъ.

— Парашка, ись.

— Погоди, съ матерью ишь что приключилось.

Илья поглядѣлъ на мать издали и пошелъ въ огородъ, напѣвая: «со святыми успокой».

Такъ пробилась Прасковья Игнатьевна цѣлый день, и только вечеромъ пришла ей мысль о Петрѣ Савичѣ.

— Вѣдь и не икнулось?.. Онъ, значитъ, и не помянулъ обо мнѣ?

Стала она думать о Петрѣ Савичѣ, и въ голову ея лѣзли мысли одна другой хуже.

— И что я за дура, думаю о немъ? Вѣдь онъ мнѣ чужой, совсѣмъ чужой.

Запѣла она пѣсню «Гулинька», но пѣсня не клеилась.

— Нѣтъ, онъ пожалуй послѣ того, што я сказала ему, на другой женится, потому всѣ мужчины обманщики. Видала я ихъ на вечеркахъ-то!!.. А мало ли со стороны-то розсказней? — А пожалуй, чего добраго, онъ все притворяется; у него поди есть мѣсто, да онъ, какъ дѣло коснулось, и на попятный...—Нѣтъ, онъ совсѣмъ поди тамъ спился!

Такъ она продумала до утра. Днемъ была гроза, и она не пошла къ крестной матери. Ночью рѣшилась завтра же идти къ ворожеѣ Бездоновой.

Къ ворожеѣ нужно было идти натощакъ. Задала она корму коровѣ, лошади, овечкамъ, выпустила куръ, надѣла на голову платокъ и пошла, оставивъ избушку незапертою на тотъ случай, что можетъ быть придетъ дядя; въ Козьемъ Болотѣ немногіе запирали дома, потому что въ отсутствіе хозяевъ воровства не случалось.

Попадается ей на встрѣчу сосѣдка Фокина.

— Куда это ты, Прасковья Игнатьевна, покатила?

— Иду къ крестной.

— А што она?

— Да надо провѣдать.

— А новость слыхала? Вотъ такъ новость!

— Ну ужъ...—И Прасковья Игнатьевна пошла.

— Игнатьевна! постой! про твово жениха новость-то!

Прасковья Игнатьевна остановилась и сказала:

— Врешь али въ забыль (вправду)?

— Провалиться. — Сосѣдка подошла къ Прасковьѣ Игнатьевнѣ и сказала: — Курносовъ-то должность получилъ; самъ приказчикъ далъ. Учителемъ, слышь, сдѣлали.

— Ей-Богу?

— Врать што ли стану... ребята сказывали, когда я въ трахту была... Али это несчастье?

Сосѣдка зорко глядѣла на Прасковью Игнатьевну, которая не знала, куда ей дѣваться: она была и рада, и плакать хотѣлось, но отчего?—она никому бы не могла отвѣтить на этотъ вопросъ въ ту минуту.

— Ошалѣла, родная,—сказала вполголоса сосѣдка и повернула съ дороги влѣво къ своему дому, а Прасковья Игнатьевна воротилась домой. Пришедши въ комнату, она упала на колѣни, заплакала и стала шептать:

— Матушка! Тихвинская Божія Матерь! Спасибо тебѣ! Помоги ты моему счастію!.. Господи! какъ я рада-то. Дай ты ему, Господи, здоровья, да совѣтъ, да любовь... Петру-то Савичу, моему милому...—Она наклонила голову къ полу...

— Вона! Племянница!

Прасковья Игнатьевна вздрогнула, обернулась: дядя... Стыдно ей почему-то сдѣлалось. Украдкой отерла она слезы, встала и сказала, сама не понимая что:

— А я думала...

— Думаютъ одни индѣйскіе пѣтухи... Ну, племянница, я братъ, того... женюсь!!. Беру, братъ, я себѣ... Шабашъ.

— Дядя, ложись спать.

— Спать?! Нѣ-ѣтъ... Во!! — и онъ вытащилъ изъ-за пазухи косушку.—Ты думаешь, я дуракъ. Нѣ-ѣтъ, краля, нѣтъ! Твой Петька вотъ теперича уменъ сдѣлался: учитель, ребячій мучитель...

— Правда ли?

— А онъ,—што жъ не былъ?

— Я не велѣла.

— Ну, значитъ, пьянъ. Значитъ, проку въ немъ нѣтъ.

Тимофей Петровичъ вытащилъ изъ-за пазухи чесноку и сталъ ѣсть его съ ломтемъ ржаного хлѣба.

— Ты думаешь, я дуракъ... Ладно. Слыхалъ я пословицу: «дураки умныхъ учатъ». Такъ вотъ и я тебя хочу поучить...

— Дядя, спать бы ты легъ: вѣдь ты ужъ сколько время-то какъ изъ дому.

— Свѣтло еще, уснемъ. Выходи, племянница, замужъ, да выходи за ровню. Ей-Богу! послушай дурака... А што этотъ учитель? што въ немъ проку? Я дуракъ, а все жъ рабочій; мнѣ не стыдно и грязь руками брать; хоть куды меня назначь.

— Не даромъ ты плутоватъ-то,—подсмѣялась надъ дядей Прасковья Игнатьевна.

— Вотъ именно што сразила!.. Вотъ теперь поневолѣ спать надо ложиться... Эхъ, дѣвка! Сказалъ бы я тебѣ много, да слушать-то ты меня не станешь, потому я дуракъ!!!

— Отчего дурака и не послушать?

— Ну, такъ слушай. Твой женихъ получилъ мѣсто, а отчего онъ къ тебѣ не является? Погляжу я, какъ онъ къ тебѣ явится и што онъ наговоритъ тебѣ... Мое дѣло сторона... Но вотъ я бы што тебѣ посовѣтовалъ по своему дурацкому разсудку: выходи лучше за нашего брата, потому свой человѣкъ. Ты на меня гляди: женюсь—и баба-то у меня какая!

— Какая?

— Сказать тебѣ—захохочешь, и все Козье-Болото захохочетъ, да мнѣ плевать...

Прасковьѣ Игнатьевнѣ очень смѣшна показалась физіономія дяди, и она расхохоталась.

— Дураку всякъ смѣется, а если умный напьется, такъ умнѣе его и нѣтъ... Извини-съ, *до дамсъ*, мы кавалить каляшо не умѣйтъ. Мы еще гулять пойдяйтъ, — заключилъ дядя, передразнивая англичанина, механика на фабрикѣ; это означало, что онъ осердился.

И Тимофей Петровичъ, выпивъ остатокъ изъ стклянницы, вышелъ изъ избы.

«Вотъ съ какими мнѣ родными пришлось жить. И что отъ нихъ хорошаго услышишь: пьянъ, какъ свинья, и я должна слушать его!» думала по уходѣ дяди Прасковья Игнатьевна и даже, отворивши окно, съ улыбкою смотрѣла, какъ дядя идетъ по грязи въ халатѣ, переваливаясь изъ стороны въ сторону.

Она была весела, — весела потому, что Петръ Савичъ получилъ мѣсто, и въ этомъ настроеніи она впервые думала: «неужели такой дуракъ, какъ ея дядя, можетъ жениться и на комъ? Неужели какая-нибудь дѣвица можетъ полюбить его?»—И она гордо смотрѣла на противоположный домъ, въ которомъ жилъ куренной рабочій съ женой и семью ребятами...

Легла она спать; икается.

— Это Петя. Онъ обо мнѣ заботится.

Мало-по-малу мысли ея приняли другой оборотъ: «а што же онъ въ самомъ-то дѣлѣ не пришелъ ко мнѣ... Мало што я могла ему запретить: онъ мужчина, а я дѣвка».—Легла спать въ одиннадцать часовъ.

— Дядя говоритъ, обманетъ. Не придетъ, говоритъ. Дядя—дуракъ. А все жъ друзья они; вѣрно онъ дядю напоилъ и сказалъ: не хочу, молъ, съ дѣвкой видѣться, потому съ самимъ приказчикомъ говорилъ.

Икнулось.

— Это онъ!.. Ахъ бы чихнуть... Ну загадаю: икнется или нѣтъ?..

Прошло полчаса. Начало свѣтать. Прасковья Игнатьевна сѣла къ окну и стала гадать на трефоваго короля; все дороги, на сердцѣ ложится или тузъ пикъ—ударъ, или семерка пикъ—вѣрныя слезы.

«Если бы исполненіе желаній!» Выпало: всѣ четыре туза на сердцѣ. И опять гадаетъ, и опять слезы.

— Нѣтъ, онъ не женится на мнѣ; карты вѣрно ворожатъ: онѣ мнѣ сказали дружка милаго, онѣ предсказали несчастіе—отецъ померъ. А што я сонъ видѣла—это быть мнѣ дѣвкой. А разѣ это несчастіе?..

— А все жъ свое хозяйство лучше...

Все же меня никто не упрекнетъ ничѣмъ...—Нѣтъ, это все дядя.. Его вѣрно подучили... Нѣтъ, Петя пришелъ бы... Онъ радъ моимъ словамъ: я испытала его... Ну, не буду о немъ думать и буду я дѣвкой весь вѣкъ; лошадь у меня есть, огородъ неотъемлемый, корова...

Она однако скоро заснула.

А на другой день пошла къ крестной матери, живущей въ Медвѣдкѣ.

Въ Медвѣдкѣ ни улицъ, ни переулковъ нѣтъ, а дома расположены такъ, какъ кому приходила охота ихъ строить; поэтому почти между каждымъ домомъ есть порядочный промежутокъ, что-то въ родѣ канавы. Дома въ Медвѣдкѣ построены копытообразно, и хотя у каждаго домохозяина есть огородъ, но въ немъ, кромѣ бобовъ и картофеля, почти ничего не поспѣваетъ, потому что, какъ говорятъ жители Козьяго Болота, земля дрянная. Сообщеніе съ Медвѣдкой въ грязное время довольно неудобно: чтобы попасть съ тракту къ дому, противоположному съ Козьимъ Болотомъ, надо или сдѣлать большой кругъ, или перейти нѣсколько овраговъ.

Домъ Марьи Савишны Пермяковой стоялъ въ самой серединѣ Медвѣдки и состоялъ изъ одной избы съ сѣнцами. Въ избѣ уже нѣсколько лѣтъ царила бѣдность и грязь. Печь хотя и большая, но уже нѣсколько разъ проваливалась, и ее нѣсколько разъ кое-какъ поправляли; углы избы прогнили; несмотря на сухую пору, полъ въ избѣ былъ постоянно мокрый, вѣроятно потому, что хозяйка рѣдко выходила на улицу по нездоровью; двѣ лавки были уже очень стары, и на нихъ нужно было садиться съ осторожностью. Все имущество хозяйки, состоящее изъ какихъ-то грязныхъ, вонючихъ тряпокъ, хранилось на полатяхъ, которыя хотя и под-

пирались, но задѣвать о подножки ихъ было опасно; тѣмъ болѣе опасно было спать взрослому человѣку на самыхъ полатяхъ...

Когда вошла въ избу Прасковья Игнатьевна, Пермякова спала на печкѣ. Это была низенькая старуха, которая теперь казалась небольшимъ комочкомъ; на ней надѣтъ синій изгребной сарафанъ и худенькій ситцевый платокъ на головѣ, да еще виднѣлся на горлѣ гайтанъ (снурокъ), на который былъ вдѣтъ мѣдный грошовый крестъ. Больше на ней ничего не было.

Въ то время, какъ Марья Савишна принимала отъ купели Прасковью Игнатьевну, она, Марья Савишна, имѣла достатокъ, т. е. мужъ ея былъ лѣснымъ объѣздчикомъ и съ порубщиковъ лѣса не по билетамъ получалъ кое-какія деньги. Жить было можно, и семейство Пермякова было хорошо до тѣхъ поръ, пока мужа Марьи Савишны не понизили за пьянство въ лѣсные сторожа. Тогда уже доходовъ не стало, и Пермяковы, привыкшіе кушать хорошо, начали сначала проживать деньги, потомъ принуждены были продать и лошадь. Выдался въ заводѣ такой годъ, въ который свирѣпствовала горячка; все семейство Пермяковыхъ, состоящее, кромѣ родителей, изъ трехъ сыновей и одной дочери, заболѣло въ разъ; болѣзнь кончилась весьма печально: мужъ и старшій сынъ померли, а Марья Савишна оглохла. Положеніе ея было ужасно; денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, со стороны и воды не допросишься, потому что горячка многихъ разорила, а заводоуправленіе рабочимъ пособія не выдавало, а если и выдавало, то мастерамъ,—хоть вой!.. Но вытьемъ дѣла не поправишь; вотъ она и продала корову, продала куръ, продала дрова и сѣно и могла биться кое-какъ съ полгода. Но когда опять вышло все, когда настала весна, всѣ огородные овощи вышли, она стала жалѣть, что напрасно продала корову. Хорошо еще, что помогли Глумовы; они помогли разсовать ей дѣтей: Гаврило попалъ къ кузнецу съ обязательствомъ прожить у него семь лѣтъ на его хлѣбѣ, а Николай—къ торгашу бакалейными вещами въ таракановскомъ гостиномъ дворѣ, находящемся на рынкѣ. Марья служитъ въ кухаркахъ; но ее что-то часто гоняютъ съ мѣстъ, и она назадъ тому двѣ недѣли поступила къ таракановскому почтмейстеру за тридцать коп. въ мѣсяцъ.

Такъ какъ дѣти Марьи Савишны помогаютъ ей немного, то и бьется она кое-какъ. Сама зарабатывать она не въ силахъ. Правда, когда здорова, она вяжетъ чулки на продажу, но этого все-таки мало: нужно вообразить, что заводъ не городъ, а мѣстный рынокъ не ярмарка, да и кому нужны чулки какой-нибудь г-жи Пермяковой?..

Прасковья Игнатьевна прежде очень любила крестную мать, но когда она подросла, познакомилась съ разными семействами, и когда крестная мать впала въ нищету, ей сначала стала противной изба крестной матери, а потомъ она стала чувствовать менѣе любви и къ самой крестной матери, почему стала очень рѣдко бывать у нея, и то развѣ когда ее пошлютъ провѣдать. У крестной матери она не была уже съ полгода.

Въ избѣ пахло не хорошо. Поэтому Прасковья Игнатьевна вышла на крылечко и вдругъ подумала: «а зачѣмъ я пришла?»

Пошла она посовѣтоваться съ крестной матерью. Теперь же пришла къ тому убѣжденію, что крестная мать не можетъ ей ничего посовѣтовать хорошаго, да и сама она не маленькая.

Во дворъ съ узломъ вошла дочь Марьи Савишны, худощавая дѣвушка лѣтъ четырнадцати, съ блѣднымъ лицомъ, заплаканными глазами, съ непокрытой головой, босая, въ одномъ продранномъ во многихъ мѣстахъ сарафанчикѣ. Въ лѣвой рукѣ она держала кошель.

— Прасковьюшка!—сказала дѣвочка, подошла къ ней и плутовато стала смотрѣть на нее.

— Аль отказали?

— Четвертыя сутки... Ходила, да всего-то четыре лоскутика насобирала... Каторжные! — И дѣвушка бросила кошель на крылечко, а сама стала мыть въ лужѣ правую ногу.

— Ты вчера дома была?

— Чево?

— Дома, спрашиваю, вчера была—весь день?

— Была.

— Никто не приходилъ?

— Нѣтъ, а что?.. Сегодня меня стегали...—Дѣвочка заплакала. Глаза ея сверкали...—Прасковья Игнатьевна, дай копеечку?

— На што?

— Ужъ ты вѣчно такая... А слышала я, учитель-то сегодня въ школѣ былъ и парней туда скликали.

— А самово не видала?

— Што дашь?

— Машка! ты съ кѣмъ разговариваешь? — послышалось изъ избы. Все это произнесено было охриплымъ голосомъ.

Прасковья Игнатьевна вошла въ избу.

Старуха сидѣла на краю печки, свѣсивъ ноги. Лицо ея было блѣдно-желтое—кожа да кости; горло тоже кожа да кости; волоса сѣдые на головѣ; въ глазахъ виднѣлось мало жизни.

«Какъ она живетъ, Господи! Одна маята только», подумала Прасковья Игнатьевна; сердце ея больно кольнуло, и ей еще противнѣе показалась изба, еще жалче крестная мать.

— Охъ, старость, старость!.. И скоро ли это Господь мнѣ конецъ пристроитъ? Легла бы я въ сыру землю... Охъ хо-хо...—заплакала старуха, но слезы у нея уже всѣ были выплаканы; это было сухое рыданіе, болѣзненно искажающее лицо, такъ что больно жалко становилось этого человѣка. На глазахъ Прасковьи Игнатьевны навернулись слезы.

— Охъ! горю не поможешь... Нѣтъ...—И старуха стала слѣзать съ печки. Прасковья Игнатьевна помогла ей спуститься, но затыкала носъ одной рукой, потому что изо рта крестной матери пахло, какъ отъ покойника.

Марья Савишна была еще крѣпка на ноги. Вышла она на крылечко, спросила у дочери хлѣба, сѣла и стала сосать кусокъ, потому что у нея не было ни одного зуба.

— Вотъ прежде сахаръ сосала, а теперь... Всѣ зубоньки, крестница, выпали... Не ѣшь ты, голубушка, никогда сахару; съ него все и разоренье наше вышло.

— Маменька, ты знаешь Петра Курносова?— крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Учителя-то? это казначейскаго-то сына?

— Ну... Сватается за меня.

— И...—Крестная мать закачала головой и задумалась.—Эхъ, стара я стала,—продолжала она,— много-то ужъ не хожу... Плохо дѣло-то!

— А што?

— Да пара ли онъ тѣ?.. Вотъ бы тебѣ изъ нашихъ жениха-то... Мало ли: вонъ Глумовъ... мало ли ихъ?

— Такъ не ходить, ты говоришь?

— Воля твоя, крестница. Оно, учитель—должность знатная... Да прокъ-то будетъ ли? Будетъ ли прокъ, милая моя крестница...А што у тѣ мать-то?

Разговоръ принялъ направленіе о Глумовыхъ, причемъ крестница разсказала крестной матери о желаніи дяди жениться. Это очень удивило Марью Савишну, и она то и дѣло стала твердить съ улыбкой:—Тимошка-то дурачокъ!.. Ахъ ты, оказія!

Прасковья Игнатьевна стала торопиться домой, но ее удерживала крестная мать, увѣряя, что ей скучно одной, а дочь ея нисколько не посидитъ съ нею, все рыскаетъ. Уважая старуху, Прасковья Игнатьевна посидѣла еще нѣсколько времени; но рѣчи о женихѣ Курносовѣ ни та, ни другая не заводили.

Дорогой къ дому Прасковья Игнатьевна стала каяться, что она только понапрасну ходила къ крестной матери.

Прошелъ послѣ этого день, прошло два и три дня,—а Курносовъ нейдетъ не только къ Глумовымъ, но и въ Козье Болото. Много въ это время передумала Прасковья Игнатьевна о своемъ женихѣ и каждый разъ засыпала съ той мыслью, что если Курносовъ изважничался, то она не пойдетъ за него замужъ. Пришелъ дядя, принесъ съ собой двѣ пары сапогъ и сказалъ:

— Ну, племянница, готовься къ свадьбѣ. Курносовъ кланяться велѣлъ.

Прасковья Игнатьевна испугалась: она думала, что онъ долго жить приказалъ, т. е. померъ. Она поблѣднѣла.

— Ей-Богу! Въ городъ за подарками поѣхалъ, потому денегъ много дали дураку за пьянство,— продолжалъ дядя серьезно.

— Видѣлъ али врешь? — спросила Просковья Игнатьевна, подозрѣвая дядю въ обманѣ.

— Наплевать... Только у насъ съ нимъ уговоръ состряпанъ.

— Да што жъ онъ?

— Я говорю уговоръ: напередъ моя будетъ свадьба.

— Да неужели въ заболь? Дядя, ты врешь! (Что за наказанье!.. Околѣть бы вамъ всѣмъ, — проговорила она про себя).

— Ей-Богу!Послѣ Петрова дня моя первая свадьба назначена, ужъ прошено, перепрошено; опосля твоя. Я это все обдѣлалъ, нужды нѣтъ, што дуракъ.

VII.

На тракту есть домъ непремѣннаго рабочаго Оглоблина; но этотъ домъ хотя и называется домомъ Оглоблина, только имъ владѣетъ мастерская вдова, Дарья Викентьевна Огородникова. Замужъ она вышла шестнадцати лѣтъ. Скоро оказалось, что мужъ ея былъ пьяница и забулдыга; она и нанялась на рудникъ въ качествѣ кухарки для рудничныхъ рабочихъ, но прожила тамъ не больше года: работать она ничего не умѣла, кромѣ печенія хлѣба. Сначала нищенствовала въ заводѣ; по наученію рабочихъ подавала на мужа нѣсколько просьбъ заводскому исправнику, но такъ какъ эти просьбы были написаны глупо и безтолково и даже одна просьба была написана въ риѳму какимъ-то пьянымъ писаремъ, то ихъ и не принимали и стали наконецъ гонять прочь Дарью отъ исправницкаго дома. Наконецъ по протекціи одного рабочаго она попала въ цѣловальницы и дѣло свое исполняла добросовѣстно три года съ половиной, и въ то время скопила кое-какой капиталецъ. Вотъ тутъ-то и познакомился съ ней Тимофей Петровичъ.

Такъ Дарья и осталась въ кабакѣ до смерти мужа, когда она преспокойно вошла въ свой домъ, въ свой потому, что домъ принадлежалъ ея родителямъ, умершимъ еще до ея замужества.

Съ этихъ поръ Тимофей Петровичъ сдѣлался своимъ человѣкомъ у Дарьи Огородниковой; но сначала на это не обращалъ никто вниманія, потому что онъ у нея исправлялъ иногда обязанности кузнеца, такъ какъ она завела кузницу и имѣла двухъ работниковъ; а потомъ хотя и узнали многіе, но, потолковавъ немного, рѣшили, что какъ и Тимошка-дурачокъ, такъ и Дарья Огородникова люди отпѣтые, и ихъ даже и за людей-то считать не стоитъ.

Какъ бы то ни было, Дарья Огородникова вела дѣла свои хорошо. Не повезло у ней на кузницѣ, она стала печь калачи и эти калачи стала продавать проѣзжающимъ ямщикамъ, мѣщанамъ и разнымъ людямъ. Лѣтомъ кромѣ калачей продавала и ягоды и такимъ образомъ получала кое-какой барышъ. Потомъ она стала варить брагу и пиво и зазывала секретно ямщиковъ, и такъ пріучила ихъ къ себѣ, что они постоянно, подъ предлогомъ купить калачей, останавливались у ея дома и пили пиво даже до того, что запѣвали пѣсни. А когда узнали и рабочіе, что Огородникова продаетъ пиво, и они стали захаживать къ ней, но кабатчикамъ не сказывали, а если кто и сказывалъ, то у нея ничего не находили.

Вотъ эта-то Дарья и есть невѣста Тимофея Петровича, которою онъ удивилъ теперь весь заводъ. Только и было разговору, что о дурачкѣ-Тимошкѣ и Дарьѣ Огородниковой.

Стоитъ напримѣръ кучка на рынкѣ у вѣсовъ и непремѣнно разговоръ идетъ о Глумовѣ.

— Слышали новость?

— Какъ не слыхать: Тимошка-то! Вотъ она задача-то!..

— И что это за родъ такой: чудятъ да и только.

— Нѣтъ, онъ, надо полагать, не полоумный. Надо ему поздравлины сдѣлать.

И такъ далѣе, все въ этомъ родѣ.

Прасковья Игнатьевна, какъ узнала объ этомъ, со стыда не знала, куда и дѣться. Выйдетъ на улицу, ее дразнятъ дядей.

— Што, учительша, дядюшка-то твой какую загвоздку намъ задалъ. Задача—ей-Богу!

— Да я-то чѣмъ виновата!—взъѣстся Прасковья Игнатьевна.

Между тѣмъ Тимофей Петровичъ свадьбу свою устроилъ не зря. Онъ очень былъ привязанъ къ Дарьѣ Викентьевнѣ. Въ ней онъ видѣлъ обиженную женщину, съ годами пришедшую въ нормальное состояніе и привязавшуюся къ нему,—такому человѣку, которому и цѣны нѣтъ. Но онъ не говорилъ ей о женитьбѣ раньше, потому что боялся жениться, да и Дарья Викентьевна ему повода на это не подавала. Привязываясь все больше и больше къ Дарьѣ Викентьевнѣ, онъ находилъ ее самой лучшей женщиной во всемъ заводѣ и, не обращая вниманія на заводскихъ бабъ, всюду преслѣдуемый насмѣшками, онъ только у нея и находилъ ласку и покой. Случалось — Дарья Викентьевна и поколачивала его, но ему милы были эти колотушки, онъ зналъ, что его колотитъ другъ, который въ тысячу разъ милѣе ему всѣхъ другихъ друзей. Также ему очень нравилось то, что Дарья Викентьевна работаетъ и деньги не тратитъ попустому, а бережетъ для хозяйства; онъ предложилъ ей такого рода планъ: «когда мы женимся, тогда я заведу свою кузницу, и мы откроемъ маленькую торговлю мелкими вещами: табакъ будемъ продавать, соль, говядину»...

Дарья Викентьевна согласилась вполнѣ съ Тимофеемъ Петровичемъ...

Послѣ Петрова дня въ православной церкви первая свадьба была Тимофея Глумова съ Дарьей Огородниковой; но кутежъ продолжался у молодыхъ только сутки... Глумовъ, какъ водится, поселился въ домѣ своей жены и купилъ у Прасковьи Игнатьевны лошадь за восемь рублей; на эти деньги Прасковья Игнатьевна сшила себѣ сарафанъ, купила ботинки и платокъ на голову.

Съ замираніемъ сердца дожидалась Прасковья Игнатьевна дня своей свадьбы, а подруги ея, приглашенныя ею и Петромъ Савичемъ ради веселья, еще болѣе пугали ее именно самымъ обрядомъ. Петръ Савичъ былъ очень веселъ и милъ, не только съ невѣстой, но и съ гостями, угощалъ всѣхъ сладкой водкой и разными сластями; во все время до свадьбы смѣшилъ всѣхъ до слезъ; даже Маланья Степановна, сидѣвшая постоянно на лежанкѣ, хихикала. Она вела себя смирно и больше разсказывала Марьѣ Савишнѣ, которую Прасковья Игнатьевна пригласила жить пока къ себѣ, разсказывала разный вздоръ, въ которомъ гостьи не понимали никакого смысла и который Марья Савишна не могла разслышать и, думая, что Маланья Степановна сочувствуетъ ея горю, съ своей стороны разсказывала свое горе отъ тѣхъ поръ, какъ она прежде много ѣла сахару, и заканчивала тѣмъ, что теперь принуждена жевать хлѣбъ.

Наступилъ и день свадьбы—великій день для невѣсты. Поплакала она, сама не зная о чемъ, кинулась на шею матери и разстроила мать, которая убѣжала въ огородъ, откуда ее никакъ не могли выцарапать за ноги. Народу въ церкви было много, потому что женился учитель; тысяцкимъ жениха былъ казначей главной конторы, а посаженымъ отцомъ самъ приказчикъ. Церковь была биткомъ набита народомъ, несмотря на то, что полицейскіе служители энергично толкали и гнали народъ отъ церкви, для того, чтобы въ церкви было свободнѣе стоять заводской аристократіи.

Женихъ стоялъ расфранченный; пріѣхала и невѣста въ кисейномъ платьѣ, подаренномъ женихомъ. Народъ острилъ то надъ женихомъ, то надъ невѣстой, доказывая, что невѣста цѣлою четвертью выше жениха. Наконецъ началось и вѣнчаніе съ пѣвчими. Народъ, стоявшій ближе къ жениху и невѣстѣ, не спускалъ съ нихъ глазъ. Но вотъ женщины ахнули: изъ рукъ невѣсты упало кольцо, стали искать кольцо—не нашли. Для формы казначей далъ свое... Повели жениха и невѣсту вѣнчать, съ жениха вѣнецъ свалился. Невѣста была блѣдна.

— Мужъ умретъ, вѣнецъ свалился, — гудѣлъ народъ.

Все-таки свадьба кончилась. Но не весела была молодуха; она теперь каялась въ томъ, что пошла замужъ за Петра Савича. Во всю дорогу мужъ не могъ добиться отъ нея слова,—она или плакала, или ей представлялись разные ужасы, и причиною этихъ ужасовъ былъ страшный сонъ.

— Знала бы—не спала-бъ въ ту ночь, какъ мнѣ видѣть проклятый сонъ,—говорила она Петру Савичу.

И сколько ее ни развеселялъ мужъ, но не добился веселости.

Въ домѣ Глумовыхъ молодыхъ благословилъ иконой и хлѣбомъ приказчикъ и по выпивкѣ заздравнаго стакана сказалъ:

— Знай я, што въ Козьемъ Болотѣ есть такая красивая дѣвка, непремѣнно бы женился!

Гости едва умѣщались въ домѣ. Они большей частью были изъ писарскаго класса, такъ что Прасковьѣ Игнатьевнѣ было очень неловко сидѣть съ ними; къ тому же присутствіе приказчика стѣсняло гостей, и они говорили какъ-то не весело. Но когда уѣхалъ приказчикъ, тогда и пошли гарцовать гости: крики, пляска, пѣсни поднялись такіе, что Маланья Степановна, сидѣвшая до сихъ поръ спокойно на грядѣ, теперь заползла въ яму, находящуюся недалеко отъ бани, и завыла.

Долго гарцовали гости, многіе перепились до того, что не могли тащить ногъ.

Такъ и поселился Петръ Савичъ въ домѣ Глумовыхъ, и отъ сихъ поръ началась другая жизнь Прасковьи Игнатьевны.

VIII.

Черезъ недѣлю послѣ свадьбы привелось Прасковьѣ Игнатьевнѣ готовить кушанье, а запасу въ ея погребѣ и чуланчикѣ было очень немного: муки фун-

товъ десять, отрубей фунтовъ пятнадцать—и только. Мяса не было, и Петръ Савичъ утѣшалъ свою жену, что онъ завтра непремѣнно купитъ говядины, такъ какъ надѣется получить съ одного пріятеля небольшой должокъ. Корова у нихъ была продана, а лошадь, какъ уже извѣстно, взялъ къ себѣ Тимофей Петровичъ. Выскребла Прасковья Игнатьевна остатокъ муки, заварила квашню, а ночью половина этой квашни сплыла и разлилась по печи и отъ печи къ полу, такъ что проснувшаяся хозяйка почти въ первый разъ увидѣла свою печь съ сѣрыми полосами и прокляла свой сонъ; но все-таки ее успокоилъ мужъ, «что на это наплевать, что отъ этого хлѣба немного убудетъ, только ей придется немного заняться очисткой печи, на которую нельзя взобраться, не испачкавшись». Но это пустяки. А вотъ, когда ушелъ ея муженекъ на рынокъ, она постаралась поскорѣе закрыть трубу и столкать въ печь четыре каравая тѣста, устоявшагося въ плетеныхъ чашкахъ, употребляемыхъ единственно для устоя ржаного тѣста. Повидимому она совсѣмъ забыла о томъ, что мужъ ушелъ за мясомъ, и, стало быть, она рано посадила хлѣбы, ибо, прибравъ все, усѣлась къ столу и стала чинить мужнинъ халатъ. Приходитъ мужъ, приноситъ два фунта говядины.

— А я ужъ хлѣбы посадила...—сказала хладнокровно Прасковья Игнатьевна.

— Молодецъ... Значитъ, сегодня отложимъ попеченіе?—проговорилъ мужъ полусердито и полунасмѣшливо.

— Видѣлъ, поди, что я печь затопила! Ишь, чуть не цѣлый день шатался! Не бѣгать же мнѣ за тобой... проговорила недовольно Прасковья Игнатьевна.

— Изволь сварить гдѣ хочешь!—крикнулъ мужъ.

— Вари самъ...

— Слушай!!

— Ты не кричи—сама кричать-то умѣю.

И эта сцена кончилась тѣмъ, что молодая хозяйка поставила горшокъ съ говядиной, водой, капустой, рѣпой и морковью въ печь. Она хотѣла досадить мужу за его грубость, зная по опыту, что щи не могутъ свариться въ вольномъ жару.

— Обѣдать! — скомандовалъ тотъ такимъ тономъ, какъ будто бы обратился къ работницѣ.

— Подожди маленько, Петя, — говоритъ Прасковья Игнатьевна мужу.

— Ѣсть хочу... живо!

— Тебѣ говорятъ—не поспѣло. Ишь, явился когда съ говядиной-то, когда печь застыла. По твоей милости у меня самой ни росинки во рту не было.

Мужъ смолчалъ, закурилъ трубку и легъ въ постель; но голодъ не давалъ ему покою, и онъ часто кричалъ:

— Обѣдать!

— Подожди; не готово,—отвѣчала жена.

Наконецъ, видя, что мужъ начинаетъ не на шутку сердиться и пожалуй, по любви, задастъ ей тряску, она подсѣла къ нему на кровать и стала ласкаться. Только мужу было не до ласкъ; онъ вскочилъ, какъ дикій звѣрь, и крикнулъ:

— Да дашь ли ты мнѣ обѣдать-то?

— Дамъ, дамъ, Петръ Савичъ...—проговорила Прасковья Игнатьевна глухимъ голосомъ.

Дрожащими руками она покрыла столъ синей изгребной скатертью, наставила и наложила всего, что требуется для ѣды на четверыхъ. Помолились всѣ Богу и усѣлись.

— Это што?—спросилъ ее мужъ, указывая на отрѣзанный ломоть.

Щеки Прасковьи Игнатьевны покрылись румянцемъ, она ничего не могла сказать. Братья съ улыбкой смотрѣли то на жену, то на Курносова.

— Для этого я што ли на тебѣ женился?

— Прости, Петръ Савичъ... квашня убѣжала..— оправдывалась Прасковья Игнатьевна, не смѣя почему-то упомянуть о щахъ.

Щи не сварились. Такъ обѣдъ и кончился небольшой ссорой молодыхъ людей. Петръ Савичъ сердился на жену и за то, что она перепортила обѣдъ, и за то, что у нихъ нѣтъ больше ни капли муки; Прасковья Игнатьевна плакала, досадуя на то, что она, злосчастная, не могла угодить Петру Савичу, хотя и всячески старалась, а онъ не хочетъ простить ей ошибку. Но мужъ еще ничего; а вотъ пришла Маремьяна Кирилловна, которую Прасковья Игнатьевна не долюбливала съ самой свадьбы за то, что она громче и дольше всѣхъ хохотала, пересмѣивала ея походку и хвалила свои сережки такъ, какъ будто бы хотѣла увѣрить всѣхъ, что только она одна можетъ и должна носить ихъ, а всѣмъ прочимъ онѣ не къ лицу. Пришла, поразсѣлась, да и просидѣла до вечера, какъ будто бы у нея дома и дѣлъ никакихъ не было. Тары да бары—и время дотянулось до вечера; вечеромъ Маремьяна Кирилловна наконецъ-то спохватилась, что у нея дома осталась недоеною корова, и стала прощаться, но чортъ сунулъ Петра Савича пригласить ее отужинать. Та было стала отговариваться по обыкновенію, такъ, чтобы ее еще больше попросили. И Маремьяна Кирилловна осталась.

— Что-то, молодуха, ѣмъ я хлѣбъ-то... а онъ какъ будто больно сыроватъ,—сказала Маремьяна Кирилловна и разразилась вдругъ смѣхомъ; ея примѣру послѣдовали мужъ и братья. А Прасковья Игнатьевна сидѣла, какъ на иголкахъ, и когда затворила калитку за гостьею, то послала ей въ догонку всѣхъ чертей.

На другой день все Козье Болото узнало, что молодуха Глумиха, что вышла за учителя Курносова, печь хлѣбы не умѣетъ!

И вотъ съ этого дня, какъ только она ни выйдетъ на улицу и какъ только ни попадется ей навстрѣчу какая-нибудь женщина, то первый вопросъ, который она слышитъ: «а што, молодуха, научилась ли ты хлѣбы-то печь?» И пошли, какъ водится, шушуканья и пересуды...

Какъ бы то ни было, а съ этого времени, со времени толковъ о томъ, что она плохая стряпуха, Прасковья Игнатьевна начала сознавать, что роль ея въ обществѣ измѣнилась. Сосѣдки, преимущественно дѣвицы, съ усмѣшкой замѣчали ей: «какое, подумаешь, счастье тебѣ вышло! Вотъ и видно, ворожея у тебя была хорошая... И лицо-то у те

какъ-то по другому выказывается». Это конечно Прасковья Игнатьевна принимала за насмѣшку, но все-таки подмѣчала въ этихъ словахъ какую-то зависть и досаду, которыя она перетолковывала такъ: «все это онѣ оттого на меня зубы точатъ, что я вышла замужъ за учителя, и не за стараго какого-нибудь, а молодого». И больше она ласкалась къ мужу, высказывая ему насмѣшки сосѣдокъ, на что почтенный супругъ преважно отвѣчалъ: «стоитъ о чемъ разговаривать!».

Однимъ словомъ, она была новичкомъ въ новой жизни, и ей непонятны казались многіе мелкіе случаи изъ мелкой драмы заводской жизни. Однажды сосѣдка обратилась къ Прасковьѣ Игнатьевнѣ со вздохомъ:

— Такъ-то, молодуха! Всяко бываетъ въ жизни... Эхъ молодость!

Прасковья Игнатьевна—точно послѣднее слово относилось къ ней съ укоризной—потупила глаза.

— Вѣдь вотъ, подумаешь, какъ время-то идетъ?—сказала она.

— Што и говорить. Вотъ я ужъ и за вторымъ мужемъ.

— Ну, а я бы въ другой разъ не пошла за мужъ,—сказала Прасковья Игнатьевна и тотчасъ же почувствовала, что она что-то неподходящее сказала, потому что у нея слова вышли безсознательно.

— Вотъ и видно—молода... А каковъ у те муженекъ-то?

Не понявъ вопроса: относится ли онъ къ насмѣшкѣ надъ ея мужемъ, или къ тому, каковъ онъ съ ней, Прасковья Игнатьевна надула губы и промолчала.

— Не колачивалъ еще?—спросила вдругъ другая женщина, находившаяся тутъ же.

— Съ чего ему бить-то меня!.. Смѣетъ!..

Женщины разомъ захохотали, а одна сказала:

— Вотъ отсохни языкъ, коли вру: придетъ пора, будешь говорить про него и то, и другое... Намъ ли ужъ не знать этого?.. А можетъ быть ты терпишь? Я тоже куды какъ съ первоначалу-то терпѣлива была. Ну, да оно и то надо сказать: баба я молодая, прожила съ мужемъ недѣлю—онъ меня бить... Разѣ это дѣло говорить: «ой, бабы, мужъ у меня драчунъ»... Тебя же и осудятъ, и смѣяться надъ тобой будутъ: глядите-ко, бабы, не успѣла она замужъ выдти, а муженекъ-то ее костыляетъ; значитъ, это по-нашему выходитъ, што въ молодухѣ изъянъ есть... Такъ-ли, молодуха?

Прасковья Игнатьевна покраснѣла. Нечего таить: разъ за что-то Петръ Савичъ ударилъ ее по спинѣ кулакомъ. И какъ же ей обидно-то было! И она вполнѣ согласилась въ душѣ съ мнѣніемъ сосѣдокъ.

— А вѣдь и знаешь, что ты чиста, какъ голубь... Вотъ и молчишь, и терпишь, а потомъ и привыкнешь, и знаешь, съ которой стороны онъ тебя ударить хочетъ, да и не отвертываешься... Поплачешь, поплачешь, да съ тѣмъ и останешься, еще за слезы зуботычину получишь.

Между тѣмъ дѣвицы указывали пальцами на бывшую ихъ подругу и съ свойственною ихъ возрасту и воспитанію завистью вспоминали всѣ проказы Прасковьи Игнатьевны, всѣ обиды, причиненныя имъ въ дѣтствѣ, называли ее гордячкой и поэтому говорили, что она непремѣнно овдовѣетъ, такъ какъ и доказательство этого уже есть; вѣнецъ свалился съ головы жениха во время вѣнчанія. Но главная нить разговоровъ все-таки состояла въ томъ, что каждой дѣвицѣ хотѣлось узнать: каковъ-то у Прасковьи Игнатьевны мужъ, какъ-то онъ обращается съ нею? Но какъ спросить объ этомъ Прасковью Игнатьевну? Разъ какъ-то дѣвицы остановили Прасковью Игнатьевну, когда она возвращалась отъ женщинъ домой.

— Спесива стала Прасковья Игнатьевна. Нѣтъ, чтобы посидѣла съ нами.

Но Прасковья Игнатьевна почему-то сочла неприличнымъ сѣсть съ дѣвицами и не знала, что отвѣчать имъ.

— Да сядь,—упрашивали ее дѣвицы.

— Ужо когда-нибудь, а теперь некогда.

Такъ она и ушла, а дѣвицы еще болѣе не взлюбили ее, и дѣло наконецъ дошло до того, что онѣ при встрѣчѣ съ Прасковьей Игнатьевной перестали кланяться ей и косо поглядывали. Прасковья Игнатьевна съ своей стороны не только не считала нужнымъ кланяться имъ первая, но и ей почему-то было стыдно дѣвицъ, и она старалась дѣлать видъ, что она слишкомъ спѣшитъ по важному дѣлу. Она уже думала: «наплевать мнѣ на нихъ!.. Я ужъ теперь не ровня имъ! Еще пожалуй выспрашивать станутъ, какъ я съ мужемъ»... и т. д.

На первыхъ порахъ замужества у Прасковьи Игнатьевны дѣла было немного. Коровы, какъ я сказалъ раньше, у нихъ не было, стало быть заботы значительно поубавились: оставались курицы, овечки, огородъ и стряпня; но странное дѣло—Прасковья Игнатьевна стала тяготиться огородомъ, овечками, курами и мало-по-малу совсѣмъ начала забывать о нихъ. Вся ея забота только въ томъ и состояла, чтобы угодить мужу стряпней, а курицы и овечки оставались по цѣлымъ днямъ безъ корму, надоѣдали ей во дворѣ до того, что она швыряла въ нихъ чѣмъ попало. Огородъ перешелъ въ руки Маланьи Степановны, которая, вѣроятно по случаю тепла, постоянно хлопотала надъ грядками. Съ утра до вечера можно застать ее въ огородѣ, только дождь вгонялъ ее въ баню или въ чуланъ, и на всевозможныя приглашенія Петра Савича идти въ избу, старуха не шла и даже рѣдко принимала пищу изъ рукъ, потому что она хлѣбъ воровала изъ сѣней ковригами, и эти коврыги можно было отыскать гдѣ-нибудь въ травѣ или въ углу пустого амбара. Впрочемъ Маланья Степановна большею частью питалась овощами: молодой рѣдькой, морковью, огурцами и преимущественно картофелемъ, которымъ она заваливала полную печь бани тогда, когда прогорятъ дрова, отъ чего большая часть картофеля превращалась въ пепелъ, а кое-что съѣдалось ею, такъ какъ она имѣла обыкновеніе остатки зарывать въ землю. Мужъ и жена дали полную свободу Маланьѣ Степановнѣ на томъ основаніи, что она давала имъ полную свободу нѣжничать, а Прасковьѣ Игнатьевнѣ такъ было хорошо въ своей избѣ и комнаткѣ, что она только ради

забавы выходила въ огородъ. А забавляться ей было чѣмъ: то ее смѣшитъ, что мать, взобравшись по перекладинамъ до самой крыши сарая, роется между тыквенными листьями и мурлычетъ что-то подъ носъ—значитъ, находится въ веселомъ расположеніи духа; то мать лежитъ между грядками и сладко спитъ, несмотря на то, что ее облѣпятъ кучи мухъ и комаровъ. Такимъ образомъ хотя огородъ и находился не въ цвѣтущемъ состояніи, но Прасковья Игнатьевна была довольна матерью и въ огородѣ почему-то видѣла теперь немного пользы. Это небрежное обращеніе съ курами и овечками, недосмотръ за огородомъ сосѣдки называли лѣнью и въ глаза высказывали ей это; но она отмалчивалась и думала: «какое такое имъ дѣло до меня! Надо же мнѣ погулять»... Но эта лѣность стала мало-по-малу отражаться на хозяйствѣ Прасковьи Игнатьевны значительнымъ ущербомъ: куры и овечки одна за другой незамѣтно для нея самой стали исчезать, капуста въ огородѣ портилась—и это она замѣтила довольно поздно, а какъ замѣтила, то и не знала, что ей предпринять. Поискала она своихъ куръ и овечекъ—ни у кого нѣтъ, да и куда она ни придетъ, ее же бранятъ за то, что она не умѣетъ владѣть своимъ хозяйствомъ, подозрѣваетъ Богъ знаетъ въ чемъ честныхъ хозяекъ. Пошла она къ Дарьѣ Викентьевнѣ съ жалобой, та сказала, что она сама во всемъ виновата, и указала на себя, какъ на хорошую хозяйку, у которой есть время на все—и торговлей заниматься, и управляться своимъ хозяйствомъ. Завидно стало Прасковьѣ Игнатьевнѣ, стала она думать, какъ это такъ Дарья Викентьевна умѣетъ управляться со всѣмъ, и у нея еще есть свободное, почти все послѣобѣденное, время?

И она спросила Дарью Викентьевну, которую называла не теткой, а по имени.

— Приложи стараніе—и все тутъ. Нечего сидѣть-то сложа руки. Ну, какая ты есть хозяйка и чему тебя отецъ-то съ матерью обучали?

Очень обидны показались эти слова молодухѣ! Дорогой она сознала, что дѣйствительно Дарья Викентьевна права, но она почему-то не понравилась ей своей рѣзкой правдой.

— И впрямь я буду стараться! Всѣ онѣ только важничаютъ, а поди тоже не лучше нашего живутъ.

А жили молодые въ это время не казисто. Хорошо еще, что было лѣто и много помогалъ хозяйкѣ огородъ. Жалованья Петръ Савичъ получалъ только три рубля; получалъ онъ и провіантъ, но его хватало только на полмѣсяца, да и то приходилось обоимъ ѣсть часто недопеченое, къ чему Петръ Савичъ уже сталъ привыкать и становился менѣе и менѣе взыскателенъ; но вѣдь однимъ хлѣбомъ сытъ не будешь, нужно же и говядины купить, соли и крупъ купить,—и три рубля расходывались Петромъ Савичемъ до пятнадцатаго числа. Все это Прасковья Игнатьевна знала; но ей неловко казалось говорить объ этомъ мужу, потому что, по ея понятію и по понятію прочихъ таракановскихъ женщинъ, о прокормленіи семейства долженъ заботиться мужъ.

Наконецъ стала Прасковья Игнатьевна замѣчать, что мужъ что-то очень рано уходитъ на службу, а домой возвращается поздно и навеселѣ, и какъ придетъ, такъ и ложится спать, а она хочетъ ѣсть. Братья тоже возвращаются домой поздно. Спросить мужа: зачѣмъ онъ не пришелъ обѣдать—неловко, потому что обѣдать нечего, и Прасковья Игнатьевна пришла къ тому заключенію, что Петру Савичу не даютъ денегъ и онъ ѣстъ у своихъ пріятелей. «Буду и я тоже такъ дѣлать». И вонъ она пошла въ пятницу къ одной сосѣдкѣ, какъ разъ около обѣденной поры; пришла къ ней за пригоршнею соли, сѣла и завела рѣчь о томъ, что мать ея нынче уже тыкву начинаетъ ѣсть сырую. Сосѣдка пригласила Прасковью Игнатьевну ѣсть, что Богъ послалъ; она стала было сперва отговариваться, но потомъ сѣла. Въ субботу пошла къ другой сосѣдкѣ за веретешкомъ—и опять такъ отобѣдала. Но въ воскресенье идти къ третьей сосѣдкѣ ей показалось совѣстно. Въ этотъ день по-случаю ненастной погоды мужъ и братья какъ на зло были дома. Утромъ было скучнѣе всѣхъ прочихъ дней: мужъ сердитый, какую-то книжку читаетъ; братья играютъ въ карты и ругаются, потому что Павелъ плутуетъ, а Илья его ловитъ. Сидитъ Прасковья Игнатьевна у окна и не знаетъ, за что бы ей приняться; но сколько она ни думаетъ, ничего не можетъ придумать; потомъ и ничего уже какъ будто не стало въ головѣ, точно она одеревенѣла. Наконецъ братья ей начинаютъ надоѣдать, и она прикрикнула на нихъ:

— Добрые-то люди въ церковь ушли, а вы...

— Такъ мы не добрые люди! Ну-ка, чѣмъ мы хуже тебя?—присталъ Илья къ сестрѣ.

— Говори—не кричи, и такъ можно.

— А вотъ мы еще прибавимъ на пятакъ.

И Илья началъ неистово свистать.

— Смирно вы, ослы!—крикнулъ Петръ Савичъ, выведенный изъ терпѣнья поведеніемъ шуриновъ.

— Самъ оселъ!—сказалъ Илья.

— Ахъ ты!.. и Петръ Савичъ поднялся съ кровати.

— Ну-ка, тронъ!—закричалъ Илья. Глаза его засверкали.

— Пошелъ вонъ, негодяй!—крикнулъ Петръ Савичъ, подходя къ Ильѣ съ кулаками.

— Самъ вонъ!

Петръ Савичъ не выдержалъ ударилъ Илью. Илья не спустилъ и хватилъ Петра Савича по лицу кулакомъ, а потомъ залегъ въ кухнѣ на полати.

Петръ Савичъ разсвирѣпѣлъ, но не могъ выцарапать съ полатей Илью, такъ какъ тотъ сидѣлъ тамъ въ углу и отмахивался палкой. Павелъ былъ скромнѣе брата и во время драки вышелъ во дворъ. Между Ильей и Петромъ Савичемъ началась такого рода перепалка.

— Въ чужомъ дому живешь, да хозяевъ гонишь, безстыжій!—кричалъ Илья.

— А ты ничего не дѣлаешь, оселъ! На чужомъ хлѣбѣ живешь.

— Хороши хлѣбы—и жену-то нечѣмъ кормить. Прогоню еще изъ дома-то...

— Илья, перестань!—вскричала Прасковья Игнатьевна. Лицо ея поблѣднѣло, самое ее трясло и отъ злости, и отъ испуга.

— Не твое дѣло!—крикнулъ мужъ.

— Петръ Савичъ! развѣ неправда, что ты меня моришь... Што сосѣди-то говорятъ, — проговорила Прасковья Игнатьевна и заплакала.

— У! черти!—проговорилъ Петръ Савичъ и сталъ одѣваться.

Прасковья Игнатьевна плакала. Вдругъ Петръ Савичъ подошелъ къ ней и ударилъ ее по спинѣ такъ, что жена взвизгнула.

— Зачѣмъ ты ее бьешь-то?—вскочивши съ полатей и подбѣжавъ къ Петру Савичу, сказалъ Илья.— И не стыдно тебѣ?.. По міру заставляешь ходить!

Петръ Савичъ затихъ. Онъ сознавалъ, что онъ сегодня надѣлалъ сгоряча много глупостей, но просить прощенія у шурина и жены ему не хотѣлось; не хотѣлось также въ присутствіи шурина утѣшить жену, и онъ, не простившись съ ней и не сказавъ ей ни слова, вышелъ. Когда онъ поровнялся съ окномъ, Прасковья Игнатьевна отворила окно и спросила робко:

— Петръ Савичъ... купи муки.

— Куплю.—И онъ пошелъ.

— Топить печь-то?

— Я почемъ знаю,—и онъ зашагалъ скоро по грязи.

Прасковья Игнатьевна заплакала. Въ первый разъ послѣ замужества она была унижена мужемъ передъ братомъ; въ первый разъ ей показалась эта новая жизнь противна... Но никто не могъ ее утѣшить въ это время. Илья тоже ушелъ, и Прасковья Игнатьевна осталась одна, и ей въ первый разъ показалось страшно сидѣть дома. Не могла она ни мыслями, ни работой преодолѣть какой-то боязни... Въ другое время она бы запѣла, а теперь нельзя—это было во время обѣдни, и она вдругъ вздумала отправиться въ церковь. Но когда она дошла до церкви, то народъ уже выходилъ оттуда.

— А, здорово, молодуха! — кричалъ рабочій, идущій изъ церкви въ тиковомъ халатѣ, съ двумя товарищами, и снялъ фуражку.

Прасковья Игнатьевна поклонилась.

— Никакъ Курносовъ-то гуляетъ?

Мастеровые прошли.

— Куды это?.. — крикнула молодухѣ молодая бойкая женщина.

— На рынокъ иду.

— Покупать волынокъ! Ну, счастливо, только надо-быть поздно,—смѣялась бойкая женщина.

И много еще пришлось Прасковьѣ Игнатьевнѣ останавливаться и выслушивать насмѣшки. Слезы душили ее, но она только глотала ихъ и боялась, какъ бы ей не заплакать. Рынокъ пустѣлъ, торгаши смѣялись надъ ея бѣлымъ лицомъ и нахально предлагали купить то, что ей вовсе не нужно.

Пошла она опять къ Дарьѣ Викентьевнѣ.

— Што это, молодуха, подглази-то у те какіе красные... Ай-ай! — встрѣтила гостью Дарья Викентьевна.

— Ничего.

Такъ Прасковья Игнатьевна и промолчала и ничего не сказала объ утренней сценѣ. Молчала она и за обѣдомъ, молчала и послѣ обѣда. И хотя Тимофей Петровичъ приставалъ къ ней съ шуточками, но ей не до смѣху было, и она печальная ушла домой, такъ что Дарья Викентьевна очень была удивлена поведеніемъ Прасковьи Игнатьевны и обратилась къ мужу съ такимъ вопросомъ:

— Ты не знаешь ли, што съ ней?

— Съ мужемъ поди не ладитъ.

— Ну ужъ и муженекъ! Давно ли женился, а у Павловыхъ день и ночь трется.

— Ты этого не говори; мало ли што дураки толкуютъ.

— Положимъ, пустяки! Мы вонъ съ тобой какъ маялись... Такъ то мы, а она другое дѣло. Нынче вонъ и порядки-то иные: чуть чево, острамятъ, да еще какъ...

Тимофей Петровичъ не возражалъ и, немного погодя, вдругъ сказалъ женѣ:

— Дарюха!.. смекаю я—здѣсь невыгодно торговать-то.

— Это почему такъ? На тракту, да невыгодно... Ты еще скажешь; и кузницу долой...

— Затараторила... Я вовсе не къ тому, што невыгодно. А видишь суть какая: не худо бы въ Козьемъ Болотѣ лавочку открыть. А?

— Вотъ ужъ! полѣзь туда съ торговлей, скажутъ—новые порядки ввелъ.

Однако Дарья Викентьевна задумалась.

— И што это ты вздумалъ непремѣнно лавчонку въ Козьемъ Болотѣ?

— Знаешь?—началъ нерѣшительно мужъ.—Я никому не хотѣлъ говорить, да ужъ такъ и быть скажу тебѣ, только ты молчи... Какъ ты думаешь на счетъ этого: не худо бы купить у племянницы домъ.

— Ну?

— Знаешь, домъ родовой, да и я съ Игнатьемъ самъ его строилъ... Оно конешно, у меня робята тоже свои и у Игнатья свои; пополамъ значитъ...

Жена задумалась.

Вдругъ входитъ къ нимъ Курносовъ. Пальто загрязнено, о брюкахъ и говорить нечего; его пошатываетъ.

— Пьянъ, дядя... пьянъ!—проговорилъ Курносовъ и сѣлъ на скамейку къ столу.

— Хорошъ молодой! Диви бы жену какую выбралъ—дряннуху али (ы... — начала Дарья Викентьевна.

— Хуже!!—Курносовъ махнулъ рукой.

— Чѣмъ же она худа-то?

— Стряпать не умѣетъ.

Тимофей Петровичъ и Дарья Викентьевна захохотали.

— Стыдился бы ты говорить-то!—сказала сердито Дарья Викентьевна.

— Вру я што ли? Сама, поди, видѣла, ѣла.

— Все это, какъ я погляжу, Петруха, одна придирка съ твоей стороны. Право! Ты не обидься моими глупыми рѣчами: глупъ я давно, а все-жъ скажу, што и я тоже не съ рынку покупалъ хлѣбъ-то. Кто пекъ, да щи-то варилъ? Племянница. О-охъ ты!!—проговорилъ недовольно Тимофей Петровичъ и вышелъ во дворъ.

Дарья Викентьевна была чѣмъ-то занята и тоже

вышла вслѣдъ за мужемъ. Петръ Савичъ посидѣлъ немного и тоже вышелъ.

IX.

Послѣ описанныхъ выше сценъ прошло три недѣли. Положеніе Прасковьи Игнатьевны немного улучшилось: Петръ Савичъ пересталъ пить и ежедневно ходитъ на службу, послѣ обѣда уходитъ рыбачить съ Матвѣемъ Матвѣичемъ Потаповымъ, извѣстнымъ въ таракановскомъ заводѣ стихоплетомъ. Матвѣй Матвѣичъ очень смѣшной человѣкъ— и трезвый, и навеселѣ; послѣднее, впрочемъ, случается рѣдко: Матвѣй Матвѣичъ любитъ выпить на даровщину, да и не только выпить, но и въ званіи любимца управляющаго онъ частенько обѣдаетъ у приказныхъ. Глаза у него каріе, брови, волоса и усы черные, онъ еще молодъ, на жирномъ лицѣ замѣтна постоянная улыбка, онъ то и дѣло вдыхаетъ носомъ въ себя воздухъ, а когда смѣется, то лѣвую ладонь прикладываетъ къ лѣвому глазу—по привычкѣ, перенятой отъ приказчика Переплетчикова, съ которымъ онъ хотя и не былъ друженъ, но у хорошихъ людей сталкивался. Прасковья Игнатьевна давно его знала, какъ шута гороховаго, ей весело было съ нимъ—и только. Она даже не умѣла подмѣтить въ немъ ничего дурного, напротивъ, она искренно хвалила его за то, что онъ часто привозилъ домой ея пьянаго мужа и говорилъ ей, что онъ всячески старается направить Петра Савича на истинный путь, т. е. не даетъ водки, и т. п. Захаживалъ Потаповъ и безъ Курносова, но только болталъ вздоръ и смѣшилъ до слезъ Прасковью Игнатьевну, которая нарочно упрашивала его посидѣть. Посѣщенія Потапова только однѣми шутками и заканчивались.—Прасковья Игнатьевна не могла не нарадоваться тому, что муженекъ ея не пьетъ попрежнему, но ей почему-то и отъ чего-то скучно становилось. Ей казалось, что рабочія женщины живутъ лучше ея: у нихъ все есть по домашности, а у нея ничего нѣтъ.

— У людей-то, погляжу я, и корова, и лошадь.

— Выдумывай, — скажетъ Петръ Савичъ и замолчитъ на цѣлый день.

Что онъ думалъ и думалъ ли онъ что-нибудь— сказать трудно, но все прежнее хозяйство дома Глумовыхъ теперь замѣнилось присутствіемъ огромнаго самовара, по всей вѣроятности попавшаго въ старый хламъ на рынкѣ отъ какого-нибудь красноносаго сбитенщика. Прасковья Игнатьевна хотя и радовалась самовару на первое время — «какъ не радоваться», говорила она самой себѣ, «и мы, значитъ, не мошки какія: вѣдь Петя-то учитель!»—но она никакъ не могла понять: откуда это Петя могъ достать самоваръ и на какіи деньги? И къ чему этотъ самоваръ торчитъ на шкафчикѣ, когда онъ употребляется только при получкѣ Петромъ Савичемъ денегъ, да развѣ Дарья Викентьевна придетъ побаловаться. Посидитъ немного и говоритъ:

— Ну-ко, молодуха, угости: поставь самодыръ-то, въ горлѣ што-то першитъ.

Поставитъ Прасковья Игнатьевна самодыръ, какъ умѣетъ, а Дарья Викентьевна ухаживаетъ за нимъ, какъ за дитятей. Поспѣетъ самоваръ, надо чай заваривать, а у молодухи чайника нѣтъ, а есть только безъ блюдечка чайная чашка, принесенная Дарьей же Викентьевой, которая хотя и подарила молодухѣ блюдечко, но Прасковья Игнатьевна вздумала кормить изъ него любимую свою кошку и какъ-то разъ наступила на него и раздавила.

— Эко дѣло! Надо бы посудинку захватить... Экая я дура набитая, вѣдь изъ ума вонъ!—сѣтуетъ Дарья Викентьевна и смотритъ на самоваръ; а Прасковья Игнатьевна хохочетъ, хотя и знаетъ, что у Дарьи Викентьевны и дома нѣтъ посудины, а что она только хвастаетъ. Она знаетъ, что будетъ теперь дѣлать Дарья Викентьевна, и поэтому ей смѣшно; но предложить ей что-нибудь — значитъ разобидѣть ту.

— Ну, надъ чѣмъ ты, дура, смѣешься?—крикнетъ вдругъ на Прасковью Игнатьевну Дарья Викентьевна, а та животъ подпираетъ руками—до того ей смѣшна причуда Дарьи Викентьевны.

Наконецъ Дарья Викентьевна открываетъ крышку самовара; паръ изъ самовара заставляетъ ее сторониться, она достаетъ изъ кармана, сдѣланнаго на правомъ боку сарафана, бумагу, въ которой завернуты чайныя выварки, смѣшанныя съ травою лабазникомъ.

Стали пить чай—налили въ двѣ деревянныя чашки, вышла желто-красная жидкость. А такъ какъ трава засѣдала въ кранѣ, то приходилось часто прибѣгать къ помощи прутика изъ вѣника.

Отпили немного молча; сахару нѣтъ. Поставили чашки; обѣ сидятъ, то глядятъ въ окно, то въ чашки.

— Паруша!—говоритъ вдругъ Дарья Викентьевна.

— Ну?

— Не лучше ли съ толокномъ?!

— И то!

И Прасковья Игнатьевна скоро идетъ во дворъ, потомъ въ погребушку и приноситъ мѣшочекъ съ толокномъ. Обѣ онѣ сыпятъ толокно въ чай и обѣ хвалятъ это кушанье, а Дарья Викентьевна, причмокивая, говоритъ:

— Кабы я была управляющиха— все бы съ толокномъ! Пра-а!

И точно, заводскія женщины очень любятъ толокно, особенно съ пивомъ; но вѣдь у каждаго человѣка свой вкусъ; поэтому и Дарья Викентьевна съ Прасковьей Игнатьевной любили пить чай только съ толокномъ, надъ чѣмъ Петръ Савичъ и въ особенности Илья Игнатьичъ вдоволь потѣшались.

Но какъ ни хорошо было пить чай съ толокномъ, а самоваръ просто сбилъ съ толку Прасковью Игнатьевну: станетъ ли она дѣлать что, часто смотритъ на самоваръ, а то и подойдетъ къ нему, возьметъ его въ руки, оглядитъ и скажетъ: «а важнѣющій»... Разъ она какъ-то утромъ долго пролежала. Погода была скверная—вотъ уже третью недѣлю шелъ дождь, такъ бы и не вышелъ изъ дому. Петру Савичу нездоровилось, и онъ не хотѣлъ идти въ училище. Илья Игнатьичъ ковырялъ свой сапогъ у лавки и насвистывалъ неистово какую-то грустную пѣсню, а Павелъ Игнатьичъ щепалъ лучину

на змѣекъ, который лежалъ еще недодѣланнымъ посреди избы, и разговаривалъ съ полѣномъ, или, иначе сказать, забавлялся, ругая и наговаривая вздоръ полѣну и отвѣчая за него.

— Петя... И что это со мной, право?..—начала вдругъ Прасковья Игнатьевна.

— Што тебѣ еще?

— Да достатки-то наши...

— Погоди; вотъ приказчикъ обѣщался дать должность въ конторѣ.

— И когда это будетъ... Господи! Ужъ продамъ же я этотъ проклятый самоваръ. Ей-Богу, продамъ!

— А ты думаешь, дешево онъ мнѣ стоитъ: я цѣлый мѣсяцъ корпѣлъ, выводя съ раскольническихъ книгъ вотъ эдакія буквы (онъ показалъ ноготь на мизинцѣ)... Вотъ мнѣ и дали только этотъ самоваръ.

— Вотъ такъ хвастушка: разѣ кержаки пьютъ чай?

— Дура! въ городѣ я его досталъ, а городскіе раскольники чай пьютъ втихомолку.

— Ну, а я вотъ продамъ, и все тутъ. Прода-амъ? Петинька, дружокъ, прода-амъ...

— Отстань! што привязалась? Будетъ время, купимъ и корову, и лошадь.

— Ты и самоваръ пропьешь, тебѣ только доткнуться до этого проклятаго винища — и пошелъ лакать... И што въ самомъ дѣлѣ за жизнь! Штой-то въ самомъ дѣлѣ? И чѣмъ я хуже другихъ! Сказано — куплю корову, и куплю! — Прасковья Игнатьевна встала, крикнувъ на послѣднемъ словѣ.

— Смѣй только, такъ я тебѣ бока поломаю!

— И што ты со мной сдѣлаешь? Бить будешь опять? А начальство-то на што? Оно развѣ не вступится? Ужъ я знаю, что я сдѣлаю.

— Ну-ко, што ты сдѣлаешь со мной, если дойдетъ дѣло до этого?—спросилъ насмѣшливо мужъ жену.

— Ужъ я знаю!—И ушла во дворъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, што я сдѣлаю? Эдакой вѣдь олухъ!» ворчала Прасковья Игнатьевна и стала думать, зачѣмъ она во дворѣ стоитъ? Вонъ мать ея силится дровни стащить на другое мѣсто: вѣроятно, ей не нравится, что дровни лежатъ непремѣнно тутъ, а не на другомъ мѣстѣ; только силенки-то у нея мало. Подошла къ ней дочь и наклонилась къ дровнямъ для того, чтобы приподнять одинъ конецъ ихъ и по желанію матери оттащить ихъ съ ней туда, куда она вздумаетъ.

— Уйди!—сказала мать и замахнулась на нее костлявою рукою.

— Вѣдь не стащишь?

— Чево?

— Не стащишь, говорю!—крикнула Прасковья Игнатьевна и прошептала:—о, глухая тетеря!—Но, прошептавши это, она подумала: — эхъ я! мать-то какъ обозвала...

Старуха кряхтитъ надъ дровнями, а дровни подаются плохо, и такъ какъ онѣ хотя немного, а все-таки подаются, то ее это и занимаетъ. Поэтому Прасковья Игнатьевна и не стала ей мѣшать больше.

Мысль купить во что бы то ни стало корову крѣпко засѣла въ головѣ Прасковьи Игнатьевны. Желаніе это съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе увеличивалось; все думалось, что тогда у ней будетъ свое молоко, она будетъ его копить, дѣлать изъ него масло, творогъ, будетъ ѣсть маньги. И, Господи, сколько тогда у ней будетъ удовольствія, и какъ она будетъ любить корову! — «Даже вотъ мамонька, и та, можетъ, отъ этого придетъ въ чувство». Но какъ ни хороши были эти думы передъ сномъ и послѣ сна, но онѣ не могли осуществиться; оставалось только продать самоваръ, а какъ его продашь, коли онъ не ея, а мужа?

— А я-то чья? не его развѣ! развѣ онъ не мой?— пришло ей какъ-то въ голову, и она стала развивать эту мысль; только сколько ни думала, въ дѣйствительности оказывалось, что она очень безсильна на то, чтобы бороться съ мужемъ. Это ее стало бѣсить, и она пошла къ одной ворожеѣ въ Медвѣдку. Пошла она къ ней посовѣтоваться, какъ къ женщинѣ опытной. Послѣ пустяшныхъ переспросовъ о житьѣ-бытьѣ съ обѣихъ сторонъ Прасковья Игнатьевна робко приступила къ дѣлу.

— Не знаю, какъ помочь тебѣ... Самоваръ, говоришь, есть?

— Есть, да не мой, а мужъ не даетъ.

— Пошли-ко ты его ко мнѣ, я уговорю его.

— Не пойдетъ онъ, а ты сама приди.

Пришла къ ней ворожея. А Петръ Савичъ былъ такого убѣжденія, что эти шептуньи только деньги выманиваютъ, и ненавидѣлъ ихъ.

Старуха вела себя чинно, больше молчала. Петру Савичу она высказала, что пришла съ предложеніемъ: не купитъ ли онъ корову? — дешево продаютъ. Петръ Савичъ сказалъ, что онъ не такъ богатъ, чтобы накупать коровъ и всякую дрянь, которую надо кормить, и сказалъ женѣ, чтобы она не смѣла и думать объ этой дряни, что она его только сердитъ своими глупыми фантазіями. Прасковья Игнатьевна пустилась въ слезы; старуха приняла другой тонъ и стала корить Петра Савича тѣмъ, что онъ ни рыба, ни мясо, пустая башка; Петръ Савичъ выгналъ старуху вонъ и получилъ отъ нея названіе варнака.

Прасковья Игнатьевна была прибита, а ночью пьяный мужъ прогналъ ее изъ дому за то, что она попрекнула его самоваромъ, который онъ съ вечера унесъ куда-то.

Итакъ Прасковья Игнатьевна не могла дѣйствовать самостоятельно безъ того, чтобы не быть битой. Но эта сцена не только не прекратила ея желаній пріобрѣсти корову, но еще болѣе увеличила. На первый разъ, какъ только мужъ прогналъ ее изъ дому, она долго плакала и проклинала свою жизнь. Въ первый разъ ей пришла мысль убѣжать изъ двора далеко-далеко; но когда она стала успокоиваться, ей жалко было покинуть свое родное гнѣздышко, свою мать, да и куда она пойдетъ? «Не пойду, а буду настаивать на своемъ: бить будетъ— сама сдачи дамъ!» И она храбро вошла въ избу...

Петръ Савичъ спалъ, какъ мертвый.

— Постой же, чортъ ты эдакій! Сдѣлаю же я съ тобой штуку; покажу я тебѣ, какъ бить меня!

И она отрѣзала у него ножницами одну половину усовъ.

— Стриженый учитель!!—сказала она, и такъ ей сдѣлалось смѣшно, такъ она долго хохотала, что разбудила Илью, который, посмотрѣвъ на Курносова, тоже захохоталъ.

— Полъ-головы ему обстриги,—кричалъ Илья.

— Будетъ и этого.

Но вотъ Курносовъ пошевелился, взглянулъ, что-то пробурчалъ и опять заснулъ; но для Прасковьи Игнатьевны и этого было достаточно для того, чтобы перепугаться: не даромъ Петръ Савичъ съ такимъ стараніемъ постоянно разглаживаетъ и подстригаетъ свои молодые усы... А что будетъ съ нимъ, когда онъ проснется и по обыкновенію протянетъ руку къ лѣвой половинѣ усовъ?

Отъ страху она пошла къ дядѣ. Тотъ обругалъ Курносова.

Нечего и говорить о томъ, что продѣлка Прасковьи Игнатьевны подняла много шуму на заводѣ. Дѣло въ томъ, что Курносовъ проснулся рано; замѣтилъ онъ спьяна или нѣтъ, что у него нѣтъ одной половины усовъ, только, разобидѣвшись тѣмъ, что нѣтъ ни въ избѣ и ни во дворѣ жены, что̀ случилось въ первый разъ, онъ, надѣвъ халатъ, отправился въ первый попавшійся кабакъ, но дорогой вдругъ остановился, удивленный и пораженный.

— Што за дьяволъ?—говоритъ онъ, щупая лѣвую щеку.

По дорогѣ идетъ шесть рабочихъ; останавливаются.

— Здорово, дядя Курносовъ,—говоритъ одинъ рабочій.

— Здорово!—говоритъ сердито Курносовъ.

— Аль тронулся—расшибъ щеку-то?

— Глядите!!—показалъ Курносовъ на щеку.

Рабочіе, какъ взглянули, такъ и поджали животики.

— Черти!!. дьяволы!!.—кричитъ онъ, привскакивая и поворачиваясь.

Но сбѣжалась толпа, и со всѣхъ сторонъ посыпались остроты на бѣднаго Курносова.

— Хорошъ учитель, ребячій мучитель! Съ однимъ усомъ... Хо-хо!

— И какъ это угораздило кого-то! Молодца!

— Это непремѣнно ему женушка соблаговолила. Какова баба?! Микита, бойся своей Акулины, голову отрѣжетъ.

— Самъ своей бойся: у тебя вонъ усы есть, а у меня положенья такого и въ поминѣ не было.

И рабочіе, смѣясь, повалили въ кабакъ, куда пошелъ Курносовъ.

Весь заводъ узналъ объ этомъ происшествіи, и заговорилъ о томъ старый и малый, прибавляя, что пьяному учителю Курносову жена усы обстригла.

Каково было положеніе Петра Савича, можетъ догадываться самъ читатель.

X.

Петръ Савичъ отъ природы былъ честенъ. Онъ бы могъ имѣть пятиконный домъ въ заводѣ, еслибы сталъ подличать, угождать приказчику и дѣлать поборы съ родителей ввѣренныхъ ему учениковъ; служа въ главной конторѣ и завѣдывая тамъ лѣсной частью, онъ могъ бы сколько угодно продавать лѣсу,—но онъ этого не хотѣлъ, считая все это воровствомъ, за что не только не любило его начальство, называя его блохой и ябедникомъ, но и товарищи, изъ которыхъ Матвѣй Матвѣевичъ Потаповъ первый смѣялся надъ его *анахоретствомъ*, какъ онъ понималъ честнаго человѣка. При такомъ положеніи дѣлъ Петръ Савичъ полюбилъ честную дѣвушку, которая по красотѣ приходилась, на его взглядъ, красивѣе всѣхъ заводскихъ дѣвицъ. Но когда онъ женился, то почувствовалъ на себѣ всю тяжесть семейной жизни, потому что передъ свадьбой начальство ему много пообѣщало хорошаго, а послѣ свадьбы ничего ему не было дано, и онъ долженъ былъ жить на три рубля, да сочинять коекому изъ рабочихъ прошенія, выручая за нихъ весьма немного. Къ тому же за прошенія ему иногда приходилось сидѣть подъ арестомъ въ полиціи безъ сапогъ. Положеніе его было довольно неказистое. Оставалось или подличать, или терпѣть, а тутъ еще дома непріятности: жена въ первое время стряпать не умѣетъ. Но потомъ онъ успокоивалъ себя, что холостой онъ жилъ на квартирѣ, гдѣ ему постоянно давали щи и кашу въ его вкусѣ; тамъ онъ требовалъ, какъ жилецъ, платящій деньги, а теперь онъ вдвоемъ, даже впятеромъ: вѣдь заводоуправленіе не выдаетъ ни ему, ни маленькимъ Глумовымъ ни соли, ни крупы, ни мяса. А ужъ если онъ взялся за гужъ, то долженъ быть дюжъ, т. е. коли женился, то долженъ и семейство свое содержать. Чѣмъ же въ самомъ дѣлѣ виновата Маланья Степановна, что воротилась изъ горнаго города сумасшедшею? Чѣмъ же виноваты Илья и Павелъ Глумовы, оставшіеся сиротами?

— И сунуло меня жениться!—ворчалъ обыкновенно Петръ Савичъ, дойдя наконецъ до настоящей причины своей бѣдности. Но уже дѣло сдѣлано, поправить его могутъ только обстоятельства: главное, ему нужно хорошенько отрезвиться, бросить эту проклятую водку и работать, работать. При послѣднемъ заключеніи вертѣлись въ головѣ Петра Савича какіе-то хорошіе планы, только они вертѣлись въ нетрезвомъ состояніи и поутру казались непримѣнимыми или невозможными. А тутъ жена пристаетъ съ коровой.—«И не можетъ она, дура набитая, понять того, что намъ самимъ подчасъ жрать нечего, а она съ коровой. Покосъ вонъ Тимофей Глумовъ взялъ, и я ужъ давно даже перепилъ за этотъ покосъ, еще пожалуй расписку представитъ въ судъ. А на что я куплю сѣна? Ну, какъ я ей разъясню это? Вѣдь я понимаю, что корова подруга женщины, какъ и лошадь для мужчины... Она изъ-за меня продала корову... Она должна требовать корову; но это опять бремя для меня». Но высказать этого онъ не умѣлъ своей женѣ, да ему, обязанному ей, было совѣстно говорить о томъ, что она сама должна понять.

«Бросить службу и идти въ непремѣнные работники?.. Брошу я этихъ подлецовъ!» Но перейти въ непремѣнные работники значитъ упасть, не на-

дѣяться на свои силы тамъ, гдѣ онъ могъ принести пользы гораздо болѣе, чѣмъ въ рабочихъ. А съ кѣмъ посовѣтуешься? съ женой? Она заплачетъ; будетъ говорить, что онъ ее обманулъ, подмазавшись къ ней учителемъ; обманулъ отца ея, дядю-простака и придурня. «И будетъ она сохнуть, да и я-то, что буду?» Такъ онъ думалъ утромъ, когда жена просила у него самоваръ.

Рабочіе любили Петра Савича. Любили они его за то, что онъ былъ простой человѣкъ. Еще мальчикомъ онъ умѣлъ потрафлять рабочимъ сочиненіемъ писемъ, еще мальчикомъ его любили ребята-товарищи за то, что онъ не былъ фискаломъ, а умѣлъ хорошо острить и забавлять ихъ, разсказывая изъ вычитанныхъ книгъ разныя исторіи, забавные случаи. Когда онъ поступилъ на службу, какъ рабочіе, такъ и товарищи отшатнулись отъ него, прозвавъ его кургузкой. Идетъ ли онъ по улицѣ, ребята ему языкъ кажутъ; рабочіе надъ нимъ острятъ; случится ли въ заводѣ свадьба богатая, рабочихъ въ церковь не пускаютъ—они толкутся у церкви и на крылечкѣ, а Курносова пропускаютъ; рабочіе толкутся у провіантскаго магазина, а Курносову рабочій везетъ куль муки... Сблизиться съ рабочими въ это время Курносову было довольно трудно. Но вотъ его сильно обидѣли, обидѣли его убѣжденія... а онъ и раньше съ пріятелями-приказными пивалъ не только водку, но и ромъ—ради веселья; ну, и вздумалъ отправиться въ кабакъ. Рабочіе сперва при входѣ Курносова замолчали, а потомъ стали зло издѣваться надъ нимъ; это его взбѣсило, и онъ напился до того пьянъ, что пустился въ драку съ рабочими,—его отвели въ полицію. Мало-по-малу мнѣнія объ немъ измѣнялись, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ попалъ въ домъ Игнатья Глумова, его всѣ рабочіе полюбили до того, что стали обращаться съ нимъ, какъ съ своимъ братомъ. Со временемъ онъ втянулся въ интересы рабочихъ, и его горе слилось съ горемъ рабочихъ. Но когда онъ высказывалъ это рабочимъ, никто изъ нихъ не могъ понять, какъ можетъ приказный и для чего сочувствовать ихъ горю, когда это никому изъ нихъ не принесетъ пользы. Рабочіе пили горькую и его за компанію угощали, а ему, не понявшему сущности чувствъ и страданій рабочихъ, казалось, что хотя его и любятъ они, но издѣваются надъ нимъ, какъ надъ кургузкой, пьяницей... И онъ старался не пить ради любви къ женѣ; но трудно было остановиться, и его спасала только рыбная ловля. Но зато, какъ попала лишняя рюмка въ глотку—все ни по чемъ,—все горе и зло снова является къ нему, и тогда онъ «пропащій человѣкъ», какъ выражались о немъ рабочіе.

— Пойду работать! Кайломъ пойду бить!—кричитъ Курносовъ, переставши вдругъ играть на гитарѣ, подъ плясъ рабочихъ, ихъ любимую пѣсню.

— Ой ли? А знаешь ли ты, съ которой стороны кайло-то берется?—острятъ надъ нимъ.

— Въ шахту его, братцы!

И начнутъ рабочіе качать Курносова, взявши его за руки и за ноги, а потомъ и бросятъ.

— Воровать стану!—кричитъ онъ, хмелѣя все болѣе и болѣе.

— Ну, это вашему брату, кургузкамъ, болѣе съ руки!

Но это были только шутки, потому что Курносовъ не могъ рѣшиться на такую крайность.

Такъ и бился онъ до обрѣзанія усовъ, а тутъ опять запилъ и попалъ въ полицію.

Усовъ на немъ не было: какіе-то добрые люди обрили ему усы; но общее впечатлѣніе у Петра Савича ясно ему представлялось, когда онъ лежалъ въ дремотѣ: жена подходитъ къ нему съ ножницами и стрижетъ... стрижетъ...

И страшно онъ золъ сдѣлался на свою жену. Всѣ обиды въ сравненіи съ этой ему казались пустяшными: жена его осрамила на весь заводъ! Ну, какъ онъ пройдется теперь по улицѣ? какъ явится въ контору, въ церковь на крылосъ и въ училище? «Лучше помереть», шепчетъ онъ: «противна она теперь мнѣ».

— Нравъ у тебя дикій!—говорятъ ему товарищи-арестанты.

— А если она глупа?

— Значитъ, возжи опустилъ!

«Ну, это не въ моемъ характерѣ», думаетъ Петръ Савичъ.

— И што за важность усы?—говоритъ одинъ арестованный.

«Нѣтъ, это все-таки насиліе. Кабы она меня любила, успокоила бы меня. Она меня не любитъ, она еще и не то сдѣлаетъ со мной... Господи! помоги мнѣ»... шепчетъ Курносовъ.

Ему стыдно казалось предстать передъ Прасковью Игнатьевну—до того онъ находилъ себя глупымъ и безпомощнымъ человѣкомъ. Да и Прасковья Игнатьевна, подумавъ хорошенько, находила свой поступокъ дурнымъ и крѣпко запечалилась.

«И съ чего это я вздумала ему усы стричь?» спрашивала она себя. Ей жалко было мужа, стыдно передъ людьми, которые ее будутъ останавливать вопросами: «не ты ли Курносову усы обрѣзала?..» Но какъ изгладить этотъ поступокъ, когда общество интересуется отъ скуки всякою мелочью? «Какъ я теперь пойду къ нему?» Жалко и больно жалко ей стало Петра Савича, а домой идти боится. Хочется провѣдать мать—стыдно.

«Пойду! Не боюсь я его!» думаетъ она иной разъ, одѣнется и опять раздѣнется.

Пробыла она у дяди три дня. Дарья Викентьевна сердится.

— Што жъ ты живешь въ людяхъ, али дома своего нѣтъ?

— Пойду, тетушка.

— Колды подешь-то! Рада на чужомъ хлѣбѣ жить.

А тутъ пришелъ Илья Игнатьичъ, началъ говорить, что коли сестра не придетъ, ему совѣтуютъ домъ продать. Тимофей Петровичъ назвалъ его щенкомъ и сказалъ, что отъ дома онъ еще, можетъ, и щепки не получитъ.

Пошла домой Прасковья Игнатьевна съ братомъ. Сердце щемитъ у нея; однако она спросила его:

— А Петръ Савичъ дома?

*

— Въ полиціи, говорятъ, сидитъ.

— Такъ я, Иля, туда пойду.

— Ты накорми насъ наперво.

— Чѣмъ?

— Ужъ это мое дѣло! Двѣ полосы желѣза продалъ. Говядины купилъ, водка есть.

— Я, Иля, схожу къ нему.

Сестра пошла къ мужу, а братъ направился къ дому рабочаго Дмитрія Гурьяныча Горюнова; но сестра замѣтила, что онъ вошелъ на пути въ питейный домъ, и тяжело вздохнула.

«И отчего это раньше я не замѣчала, што мужики сызмалѣтства пьютъ?» подумала Прасковья Игнатьевна.

— Што нужно?—спросилъ Прасковью Игнатьевну Петръ Савичъ, сидя на корточкахъ передъ лавкой и играя съ двумя рабочими и одной женщиной въ карты, въ дураки.

Прасковья Игнатьевна и позабыла посмотрѣть: есть у него усы или нѣтъ,—ей не до того было.

— Провѣдать,—сказала она робко.

— Нечего провѣдывать-то.

— Да ты на что сердишься-то?.. Усы-то тебѣ Илька обрѣзалъ.

Петръ Савичъ посмотрѣлъ на нее.

— Какъ ты меня прогналъ, я и ушла къ дядѣ Глумову, а утромъ прихожу, тебя и нѣтъ. Илька копошится у печки. Гдѣ, спрашиваю, Петръ Савичъ?.. А онъ хохочетъ... А Пашка говоритъ: Илька ему усы обкарналъ.

— Разсказывай, матушка, сказки.

— Все это, я мекаю, враки, Савичъ, што про твою жену толкуютъ,—сказалъ одинъ рабочій.

— А коли такъ, вотъ мое слово: штобы твоихъ братьевъ и духу не было въ домѣ!—сказалъ дрожащимъ голосомъ Петръ Савичъ.

— Съ тѣмъ, штобы ты не пьянствовалъ!—сказала Прасковья Игнатьевна.

На этомъ и покончился разговоръ супруговъ.

Прасковья Игнатьевна и рада была, что братья не будутъ съ ней жить, и неловко ей было прогнать ихъ, какъ братьевъ. Рада она была потому, что они раздражали ея мужа, совались не въ свое мѣсто, были для нея какъ бѣльмо на глазу, и въ особенности Илья заявлялъ право на домъ, бывши четырьмя годами моложе ея. Неловко прогнать потому, что они—братья, они получаютъ провіантъ, помогаютъ ей кое-что дѣлать. Она предоставила разрѣшить этотъ трудный для нея вопросъ мужу.

Братья перебрались къ дядѣ Тимофею Петровичу, и между ними и Курносовымъ завязалась непримиримая вражда.

XI.

Училище стояло на площади. Внутренность этого зданія цвѣтомъ походила больше на кабакъ, а зимою въ немъ учителя могли пробыть часъ единственно или изъ любви къ дѣлу, или ради того, чтобы показать начальству, что они даромъ не берутъ деньги,—иначе вонь и грязь хотя кого бы проняли. Настоящее училище существуетъ только для пріѣзда видныхъ гостей. Этотъ домъ каменный, двухъ-этажный, и въ немъ живетъ парядчикъ Площадниковъ, тесть приказчика. Въ самомъ же училищѣ, находящемся внизу, находится прачешная Площадникова, а когда нужно показывать училище начальству, то стѣны бѣлятъ, полы моютъ и втаскиваютъ въ комнату съ двумя окнами четыре парты, шкафъ, въ которомъ ровно ничего нѣтъ, столъ и стулъ...

Въ описанномъ выше зданіи прежде существовали столярни; но съ тѣхъ поръ, какъ владѣлецъ предписалъ управляющему завести въ заводѣ школу, управляющій приказалъ назначить для нея это зданіе. Тогда и назначено было отвести для столярни заднюю половину дома, что за западными дверьми; а такъ какъ помѣщенія оказалось мало, то и дали еще другой домъ, что находится во дворѣ.

Семь часовъ утра. Около восточныхъ дверей сидятъ пять учениковъ—мальчики отъ шести до пятнадцати лѣтъ, въ тиковыхъ халатахъ, худыхъ сапогахъ и фуражкахъ. Это дѣти зажиточныхъ мастеровъ. На полянкѣ лежатъ двѣ засаленныя и съ сильно загнутыми углами книжки. Двери заперты. Они играютъ въ гальки. Двое парней по четырнадцати лѣтъ, въ синихъ штанахъ, бѣлыхъ рубахахъ, босые, недалеко отъ сидящихъ играютъ въ шошки, т. е. мечутъ правыми ногами жестяную пуговку съ прикрѣпленнымъ къ ней клочкомъ собачьей шкурки съ шерстью. Они то и дѣло кружатся, разѣваютъ рты, ругаются, когда шошка не упала на ногу, и очень заняты своей игрой. Недалеко отъ нихъ десятилѣтній мальчикъ, тоже босой, въ рубахѣ и штанахъ, около училища выдѣлываетъ разныя штуки мячикомъ, а другой, въ огромной теплой шапкѣ, стоя около него и куря воронкообразную *попероску*, то и дѣло кричитъ:

— Сорвешься, Сенька! сорвешься? Черезъ руку?.. Черезъ ногу?.. Ну, на лбу сорвешься!!.

У южныхъ дверей четверо ребятъ въ рубахахъ и подштанникахъ жарятъ въ бабки; у новой столярни двое дерутся.

Всѣ эти ученики по виду нисколько не походятъ на учениковъ, но по обращенію между ними можно въ нихъ замѣтить училищный духъ, духъ общежительности и дружбы, на томъ основаніи, что они играютъ не въ общей кучѣ. Это даже замѣтно и изъ того, что вошелъ еще ученикъ во дворъ въ длинной, прорванной во многихъ мѣстахъ рубахѣ, съ болячками на лицѣ и съ черными кудреватыми волосами, и тотчасъ обратилъ на себя вниманіе.

— Кудряшка-мурашка, сколько вицъ получилъ?—сострилъ одинъ изъ халатниковъ.

— Собака!—сказалъ кудряшъ.

Халатникъ вскочилъ, подбѣжалъ къ кудряшу и ударилъ его по спинѣ, но кудряшъ вмигъ повалилъ его на землю. Къ кудряшу подошли остальные пріятели халатника и вцѣпились въ него; остальные игроки и драчуны стали заступаться за кудряша,—завязалась всеобщая драка, которую разнялъ сторожъ, вышедшій изъ училища съ метлой.

Ученики, числомъ до двадцати, повалили въ училище, а тамъ продолжали тѣ же игры, какъ и во дворѣ, съ той впрочемъ разницей, что играв-

шіе въ бабки теперь играли въ карты и бабки; бабки лежали у каждаго въ картузѣ. Само собою разумѣется, ребята голосили; немногіе, переставши играть, курили табакъ и задирали другъ друга на драку.

— Курносовъ идетъ!—крикнулъ одинъ парень, вошедшій въ училище со двора.

Ученики бросили игры, побѣжали на свои мѣста, на скамейки; понемногу стихли, но потомъ заговорили опять и опять заиграли.

— Урокъ?!—крикнулъ одинъ парень-халатникъ, подошедшій къ мальчику безъ халата. Тотъ заплакалъ.

Короче сказать—и здѣсь, въ этой грязной школѣ, существовали между школьниками тѣ же нравы, какіе существуютъ въ городахъ; но здѣсь они были доведены до того, что ребята, страшась учителя больше всего на свѣтѣ, боялись и старшаго, спрашивающаго уроки, потому что если ученику нечего дать старшему, то этотъ ученикъ непремѣнно будетъ высѣченъ.

Вошелъ Курносовъ и засталъ учениковъ врасплохъ, за играми.

— Смирно! лошади!—крикнулъ онъ.

Ученики встали. Одинъ изъ нихъ сталъ читать молитву. Послѣ молитвы всѣ сѣли; сѣлъ и Курносовъ на свое мѣсто и началъ перекликать учениковъ. Онъ пришелъ сегодня въ училище съ цѣлью заняться добросовѣстно.

— Старшій!

Всталъ старшій.

— Подойди ко мнѣ.

Старшій подошелъ къ столу. Курносовъ спросилъ его, что̀ такое умноженіе, тотъ сказалъ:

— Умноженіе есть вычитаніе и дѣленіе.

— На колѣни на окно, лицомъ на улицу,—скомандовалъ Курносовъ.

Парень стоитъ, переминается съ ноги на ногу.

— Розогъ хошь?!

Парень пошелъ къ окну и ворчитъ: «безусый учитель! Курноско!».

— Петръ Савичъ, онъ говоритъ: «безусый Курноско»,—сказалъ мальчикъ безъ халата.

Курносовъ промолчалъ. Мальчики стали шептаться, потомъ заговорили громко, захохотали. Можно было только понять: «Курноско безусый».

— Тише! Всѣхъ передеру!!

— Самъ драный!

— Жена усы обрѣзала! — галдятъ ребята, и старшій сѣлъ на свое мѣсто и сталъ ругать учителя разными бранными словами.

Курносовъ потерялъ терпѣніе и ушелъ въ столярную.

— Шабашъ? — спросилъ его рабочій, сидя на верстакѣ и обтесывая доску. Въ столярной было до десятка рабочихъ, изъ нихъ кто закуривалъ трубки, кто работалъ, кто ѣлъ.

— Покурить пришелъ.

— А каково тебѣ женушка усы-то отчекрыжила!—острилъ какой-то молодой рабочій.

Остроты сыпались на Курносова со всѣхъ сторонъ, но скоро кончились. Завязался разговоръ о казакѣ Девяткинѣ, сломавшемъ вчера ногу, потомъ перешелъ къ тому, что Иванъ Ѳоминъ вчера попался на глаза управляющаго пьяный, но тотъ этого не замѣтилъ. Пришелъ казакъ изъ полиціи, потомъ полицейскій писарь, закурили трубки, заговорили о Девяткинѣ, стали звать Курносова въ кабакъ, но онъ пошелъ въ училище.

Въ училищѣ происходила драка.

— Ребята! Али вамъ не говорили, что старшихъ нужно слушаться?

— Мы сами съ усами,—сострилъ кто-то.

— То-то и есть, что ни у кого изъ васъ нѣтъ усовъ-то.

Ученики переглянулись и улыбнулись.

— А что если мнѣ усы жена или тамъ кто другой обстригъ, это дѣло не ваше. Вы должны то помнить, что я вамъ хочу принести пользу, хочу научить грамотѣ лаской, а не розгами. Давайте учиться. Хотите учиться?

Всѣ молчатъ и смотрятъ на Курносова.

— Кто хочетъ учиться—встань налѣво, а не хочетъ — направо.

Направо отошелъ одинъ халатникъ и семеро безхалатниковъ.

— Кто не хочетъ учиться, идите домой и скажите вашимъ роднымъ: «Курносовъ, молъ, насъ вытурилъ за то, что намъ лѣнь учиться».

Это была самая рѣзкая мѣра, принятая за наказаніе Курносовымъ, не употребляющимъ розогъ. Исключенный изъ училища, какъ бы онъ ни былъ грубъ, глупъ, исключался и изъ общества товарищей: его не принимали играть, его постоянно дразнили выгнаннымъ изъ школы, и исключенный изъ училища, если онъ былъ сынъ бѣднаго рабочаго, посылался въ работы на рудникъ, безо всякихъ отговорокъ — такая ужъ почему-то была принята сыздавна мѣра начальствомъ; если онъ былъ сынъ богатаго рабочаго, тотъ приводилъ его въ полицію, немилосердно дралъ, или прогонялъ изъ дома, конечно на недѣлю.

Исключенные ребята не трогались съ мѣста.

— Идите, коли грамоты знать не хотите, коли не хотите писарями быть.

— Хочу,—сказалъ одинъ, за нимъ другой, наконецъ всѣ.

Затѣмъ послѣдовало разрѣшеніе остаться.

Ребята молчали. Курносовъ сталъ объяснять сложеніе: спросилъ бумаги—ея не было, поэтому онъ сходилъ самъ за двумя листами бумаги въ полицію; карандаши имѣлись. Курносовъ нѣсколькимъ далъ по осьмушкѣ бумаги и, написавъ букву или слово, заставлялъ ребятъ писать. Ребята старательно выводили буквы, но недолго, потому что въ училищѣ не было тихо: двое твердили азы, трое твердили умноженіе, раскачиваясь какъ маятникъ отъ усердія, одинъ читалъ по складамъ какую-то сказку, стоя передъ Курносовымъ. Писаки начали толкать другъ друга, стали играть въ херики и оники...

XII.

Успеньинъ день—большой праздникъ въ таракановскомъ заводѣ, во-первыхъ потому, что къ этому

дню таракановцы кончаютъ со страдою, а во-вторыхъ, въ этотъ день, какъ и въ первые три дня Пасхи, нѣтъ работы ни на рудникахъ, ни на фабрикахъ, ни въ лѣсахъ. И послѣ этого дня трое сутокъ тоже работы нѣтъ нигдѣ. Эта вольгота дана сыздавна еще первымъ владѣльцемъ. Кромѣ того въ этотъ день въ заводѣ розговѣнье и ярмарка, на которую съѣзжаются татары и крестьяне изъ окрестныхъ деревень съ кожей, лошадьми и тому подобными мѣстными продуктами.

Канунъ праздника. Утро. Петръ Савичъ топитъ баню, а жена его моетъ полъ. На лицѣ ея замѣтна и усталость, и безпокойство. Думаетъ она о томъ, дастъ ли ей Петръ Савичъ денегъ на рыбный пирогъ, да сумѣетъ ли она состряпать его? Вотъ коровы нѣтъ; курочекъ завела Христомъ-Богомъ парочку съ пѣтухомъ, ужъ одиннадцать яичекъ, слава тѣ Господи, накопила, пива и браги наварила много. Что бы это состряпать? Придутъ ли Глумовъ съ женой завтра?

Изба вымыта, постланы въ ней половики; глядитъ свѣтъ въ окнахъ ясно, и въ избѣ хорошо, и весело Прасковьѣ Игнатьевнѣ. Главное, Петръ Савичъ не пьетъ и также веселъ; значитъ и праздникъ хорошо встрѣтится и проведется.

Гдѣ-то Петръ Савичъ досталъ денегъ, купилъ соленаго сига въ два фунта по 5 коп. за фунтъ, поросенка за 20 коп., масла и еще кое-чего. Не нарадуется она; сосѣдки то и дѣло приходятъ къ ней разузнать, чего она купила, разсматриваютъ поросенка, хвалятъ, спрашиваютъ, по чемъ на рынкѣ то и другое, хотя сами хорошо это знаютъ, потому что безъ рыбнаго пирога и поросенка какой праздникъ? А заходятъ онѣ для того, чтобы пригласить къ себѣ въ гости на завтра и узнать, пригласитъ ли ихъ хозяйка къ себѣ на завтра?

Суетня въ заводѣ всеобщая: мужчины идутъ на площадь къ конторѣ удостовѣриться, будетъ ли завтра угощеніе, т. е. приготовленъ ли огромный столъ. Приготовленъ. Женщины бѣгаютъ чуть не сломя голову на рынкѣ, кричатъ и ругаются; тамъ достроиваютъ балаганы, а тамъ толпится праздная толпа у кабака. Къ вечеру всѣ прибрались, выпарились въ банѣ, надѣли чистое бѣлье, полежали, походили изъ дома въ домъ. Мужчины рано легли спать, а женщины и дѣвицы гдѣ до утра, а гдѣ и до полночи не спали; у нихъ много хлопотъ: то надо починить, то надо дошить, пригладить, пріутюжить, примѣрить, посмотрѣться въ зеркало, и хотя все это старо, но хочется завтра себя показать не неряхой какой-нибудь, а исправной хозяйкой или красавицей дѣвицей-невѣстой... Теперь только и думать: какъ-то проведется завтра праздникъ? Всѣ невзгоды, накопившіяся за цѣлый годъ, забылись.

Рано утромъ пробудились хозяйки; рано растолкали онѣ дочерей и рано затопили онѣ печи. Ругаютъ матери дочерей, ругаются сестры съ сестрами, свекрови съ невѣстками, и эта ругань идетъ все изъ-за стряпни: то не такъ, другое не ладно, и ругань пробуждаетъ мужей, братьевъ, которые, обругавъ бабъ, переворачиваются на другой бокъ и снова засыпаютъ—на томъ основаніи, что сегодня не будетъ бить призывной колоколъ... Мало-по-малу въ избахъ раздается трескъ изъ печекъ, начинаетъ пахнуть хорошо жареным и печенымъ. Стряпаетъ и Прасковья Игнатьевна, а мужъ ея, помогая ей стряпать, то и дѣло дразнитъ ее.

— Не умѣешь!

— Да отвяжись ты, чуча! прости Господи, — сердится жена.

Курносовъ щиплетъ ее.

— Петька, свинья! Оболью щами-то.

Наконецъ печка у нея истоплена; въ печкѣ стоятъ горшокъ со щами, латка съ поросенкомъ и пекутся два пирога, одинъ съ рыбой, другой съ малиной. Теперь на душѣ ея легко, и она вдругъ присѣла, потомъ вскочила и, подойдя къ мужу, чистившему свой сюртукъ, обняла и крѣпко поцѣловала его, такъ что тотъ испугался.

— Экъ тебя!—сказалъ онъ.

— Какъ я, Петя, рада! О-охъ, какъ рада!

— Чему?

— Всему.

— Да одѣвайся!

Надѣла она подвѣнечное платье, на голову шелковую косынку, вдѣла въ уши посеребренныя мѣдныя сережки съ янтарными язычками, на шею платокъ,—все это продолжалось около часу, и въ продолженіе этого времени она успѣла вынуть изъ печи пироги и положить ихъ на печь.

— Ишь ты краля какая, Параша!—любуясь на жену, говорилъ Петръ Савичъ, одѣтый тоже попраздничному.

— Што ты!!—и Прасковья Игнатьевна кокетливо посмотрѣлась въ зеркало. Щеки ея покраснѣли.

— И ты, голубчикъ, тоже хорошъ.—Голосъ ея дрожалъ. Она подошла къ мужу, обняла его и еще разъ поцѣловала.

— Славно, Петя! Всегда бы такъ. А?

— Да!—вздохнулъ Курносовъ.

Ударили къ обѣднѣ. Курносовъ сталъ торопить жену, которая принесла изъ погреба два жбана — одинъ съ брагой, другой съ пивомъ, и поставила ихъ на столъ, который предварительно накрыла синей скатертью, вытканной ею же.

Вышли. Идутъ рядомъ. На дворѣ тепло; солнышко такъ и грѣетъ. На небѣ нѣтъ ни одной тучки. Легкій вѣтерокъ слегка колеблетъ концы платка, надѣтаго на шею Прасковьи Игнатьевны. Изъ воротъ многихъ домовъ то и дѣло выходятъ нарядныя женщины — въ сарафанахъ, красныхъ ситцевыхъ платкахъ на головахъ, дѣвицы съ распущенными назади косами, заплетенными въ разноцвѣтныя ленты; мужчины—въ черныхъ и голубыхъ тиковыхъ халатахъ, опоясанныхъ пониже поясницы разноцвѣтными опояскамн.

Со всѣхъ порядковъ и улицъ народъ стекается къ собору; все принимаетъ праздничный видъ.

Кончилась обѣдня; народъ хлынулъ изъ церкви, давка произошла необъяснимая... Но народъ не идетъ отъ церкви, а толпится на площади передъ нею. Всѣ чего-то ждутъ. Вотъ выходитъ изъ церкви

все заводское начальство и управляющій. Мужчины сняли фуражки.

— Здорово, ребята! Съ праздникомъ!—сказалъ управляющій.

Народъ что-то прогудѣлъ.

— Выставить у конторы пять ведеръ водки на мой счетъ,—сказалъ онъ приказчику.

— Покорно благодаримъ!—гудѣлъ народъ.

— Три дня гулять!!— сказалъ управляющій и сошелъ съ крыльца.

Невозможно описать, съ какимъ ожесточеніемъ рабочіе подступили къ водкѣ, потому что пришедшаго раньше трудно было оттереть отъ даровой попойки, а всего народу было по крайней мѣрѣ человѣкъ триста и онъ постоянно прибывалъ. Многіе даже дрались и отъ драки опрокинули столы съ ведрами.

— Эй, вы, анафемы! Што вы надѣлали! Добрались до даровой водки-то! — кричали стоявшіе у столовъ, тузя и друга, и недруга во всѣ стороны.

— Глядите, Гришка-то?—кричали рабочіе, указывая на одного, который едва уплеталъ ноги.

Когда вся водка была выпита, народъ разошелся по домамъ, гдѣ началось всеобщее угощеніе. Старшіе въ семействахъ угощали родню и друзей, не имѣющихъ родни.

Заводъ загулялъ на славу. Загулялъ онъ потому, что его сегодня обласкали и подарили ему три дня свободы, а заводская свобода значитъ то, что въ эти дни даже мелкихъ воровъ прощаютъ, въ полицію не берутъ пьяныхъ, народъ можетъ грубить начальству, сколько хочетъ, короче — все прощается, кромѣ крупныхъ преступленій.

Если бы какой-нибудь новичокъ попалъ въ это время на заводъ, у него бы закружилась голова: въ домахъ пляска, пѣніе, крикъ, ругань; на улицахъ идутъ полупьяныя заводскія бабы подъ руки съ мужчинами и орутъ пѣсни; танцуютъ молодые рабочіе, играя на гармоніяхъ и балалайкахъ; другіе танцуютъ съ дѣвицами, наряженными въ лучшія платья, сшитыя на заводскій манеръ; полупьяные ребята скалятъ зубы, аркаются съ большими и малыми, играютъ въ мячикъ, въ бабки, кувыркаются, на чемъ попало. Веліе веселіе въ заводѣ!

Вонъ у одного новенькаго дома въ два окошка молодой мужчина, въ красной ситцевой рубахѣ и синихъ изгребныхъ штанахъ, босой, играетъ на балалайкѣ «барыню»; около него танцуютъ три женщины и двое мужчинъ,—женщины въ сарафанахъ, сшитыхъ по послѣдней модѣ, а мужчины въ такомъ же нарядѣ, какъ и музыкантъ, съ тою только разницею, что у одного на головѣ фуражка съ полукозырькомъ, а у другого на ногахъ надѣты ботинки. Они такъ впились въ танцы, что, кажется, все свое горе забыли: хохочутъ, ругаются, насвистываютъ, прыгаютъ что есть мочи и щелкаютъ другъ друга по носу, губамъ, спинѣ и рукамъ. Долго на нихъ любовался старикъ съ сѣдыми длинными волосами, безбородый, умный, какъ видно по лицу; старикъ улыбался и... вдругъ пустился въ плясъ...

Молодые люди не удивились этому, а каждый изъ нихъ хотѣлъ доказать старику-отцу, тестю, что онъ, т. е. молодой человѣкъ, не въ примѣръ лучше его танцуетъ. У старика устали ноги, онъ чуть не задохся, а молодые люди танцуютъ; музыкантъ двѣ струны порвалъ на балалайкѣ и пересталъ играть,—танцы кончились.

Передъ господскимъ домомъ стоятъ двое рабочихъ. Одинъ изъ нихъ немного выпивши, а другой пьяный. Немного выпившаго величаютъ Хозяиновымъ, а пьянаго Екатеринбурцовымъ.

. . . . . .

— Нѣтъ... Ты думаешь, я пьянъ! Э!! ты мнѣ теперича представь работу, теперича... да я теперича всю работу сполна сроблю!! Теперича восемнадцать лѣтъ роблю... теперича въ шахтахъ восемь лѣтъ ползалъ... Это што?! теперича...—говорилъ Екатеринбурцовъ, идя на господскій домъ.

— Дядя! Полно, голубчикъ... Полно. Хуже для насъ ты сдѣлаешь,—унималъ его Хозяиновъ.

— Теперича справедливость дѣ—ѣ!! А?..—онъ заскрежеталъ зубами и заплакалъ.

— Дядюшка! милый ты мой... Ну, перестань. Вѣдь поправимся.

— Поправимся?.. Веди меня къ нему; веди! Я спрошу его: што, молъ, теперича, ваше благородье, какъ, молъ, теперича... Я ему покажу!

Къ нимъ шли четверо рабочихъ и кричали:

— А вотъ мы вытребуемъ ево... каково онъ теперича пьянъ за наше здравіе, али еще...

— Стой, ребя!! Я пѣсню какую сейчасъ про нево сочинилъ,—и онъ запѣлъ грустно и во все горло.

Далеко за ночь раздавались по заводскимъ улицамъ пѣсни, которыя не могли заглушить и собаки; слышались крики, ругань, и все это смолкло къ утру.

На рынкѣ утромъ происходила давка.

Торгашъ обмѣрялъ кого то на гниломъ ситцѣ. Это замѣтила дѣвица, сказала своей роднѣ. Вмигъ явился на сцену аршинъ; смѣряли—невѣрно.

— Въ палицу!—кричитъ толпа.

— Што въ палицу—потрясемъ ево!

Торгаша трясутъ,—взявши за руки и за ноги; народъ останавливается и хохочетъ.

— Пихайте ему въ ротъ ситецъ!

— Будешь обманывать?

— Ворочайте балаганъ.

— Потише,братцы!—унимаетъ рабочихъ казакъ.

— Веди его въ палицу.

— Не могу.

— Качайте казака.

И казака качаютъ, народъ хохочетъ. Но при этомъ никто и не думаетъ что-нибудь украсть.

Кабаки во весь день пусты. Вечеромъ народъ повалилъ въ господскій садъ. Тамъ играла музыка, заѣзжіе акробаты показывали фокусы; въ двухъ мѣстахъ продавали водку, въ нѣсколькихъ кислыя щи, которыя пили преимущественно дѣвицы, а если у мужчинъ были деньги, то онѣ прикладывались и къ водкѣ. Всѣ смѣялись, весело разговаривали, острили, удивлялись акробатамъ. Стала менѣе свѣтить луна. Вдругъ народъ повалилъ изъ сада: господскій домъ иллюминованъ; на пруду пароходъ

свистокъ далъ, пѣвчіе, въ томъ числѣ и пьяный уже Курносовъ, садятся въ шитикъ; готовятся пускать фейерверкъ... Народъ столпился на плотинѣ... Прудъ оглашается крикомъ, визгомъ, руганью, свистками и другими звуками; кое-кто играетъ на гармонійкахъ, кое-кто поетъ, но голосъ обрывается... На плотинѣ давка.

Вотъ тронулся пароходъ, заиграла на немъ музыка: катается управляющій и всѣ должностные люди завода; поплыла по пруду лодка съ пѣвчими, грянули пѣвчіе: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ». И какъ они хорошо грянули!..

— Ай да хваты, ребята!

— Слышите, Курносовъ: «у-у-у». Голосище!

Курносовъ дѣйствительно пѣлъ не въ тактъ.

Вдругъ что-то зажужжало. Всѣ вздрогнули. Къ верху полетѣлъ огонекъ и разсыпался звѣздами.

— Ай! а-а-й! Черти! На ноги наступаете!—кричитъ народъ.

Опять ракета, другая, третья... Вдругъ ракета упала на народъ. Крикъ, визгъ, ругань огласили воздухъ...

Наконецъ кончились ракеты, охрипли голоса пѣвчихъ, присталъ пароходъ къ пристани. Народъ разошелся по домамъ пьяный, за исключеніемъ ребятъ и дѣвицъ.

На другой день пьянство еще болѣе усилилось. Курносовъ, получившій за вечернее пѣніе пять рублей, и изъ-за стола выйти не могъ. Гостей у Прасковьи Игнатьевны было много, и всѣ ею остались очень довольны. На третій день Прасковья Игнатьевна съ мужемъ отгащивала у Ивана Яковлевича Курносова и покороче сблизились съ его женою Маремьяною Кирилловною.

На четвертый день весь заводъ началъ приходить въ себя: у всѣхъ болятъ головы, надо идти на работу, опохмелиться многимъ на не что. Очнулись всѣ.

— Што жъ это такое было? Все ушло?

— Кануло. Жди годъ!

— А славное времячко было! И отчего это не всегды такъ?

Курносовъ пропьянствовалъ недѣлю и пропилъ все до послѣдней копейки.

XIII.

Прошло три мѣсяца. Въ это время не произошло никакихъ перемѣнъ ни въ жизни Курносовыхъ, ни въ жизни Глумовыхъ. Курносовъ попрежнему рыбачилъ, пѣлъ, ходилъ въ училище и контору. Прасковья Игнатьевна была счастлива, и сосѣдки полюбили ее, какъ вообще любятъ молодую нечванливую хозяйку. Корову она не могла купить, потому что всѣ деньги, пріобрѣтаемыя Петромъ Савичемъ въ качествѣ пѣвчаго отъ похоронъ и свадебъ, шли на мясо, настоящій чай, къ которому Петръ Савичъ имѣлъ большую охоту и къ которому Прасковья Игнатьевна мало-по-малу привыкла. Но вотъ Петръ Савичъ сталъ опять попивать и пропадалъ изъ дома по цѣлымъ суткамъ. Это сильно безпокоило Прасковью Игнатьевну тѣмъ болѣе, что она чувствовала себя беременною. Она старалась всячески уговаривать мужа, чтобы онъ не пилъ, упрашивала друзей его, чтобы они, ради Христа, не давали ему водки; но Петръ Савичъ трезвый говорилъ одно: развлеченья мнѣ нѣтъ!

— Да какое же тебѣ развлеченье? вѣдь ты пѣвчій.

— Рыбачить нельзя.

— Полно-ко, Петя! Неужто тебѣ непремѣнно пьянствовать надо?

— Попала рюмка и пошелъ! Пакости меня бѣсятъ. А въ училищѣ зубъ съ зубомъ не сходится; стужа, угаръ...

И дѣйствительно, какъ попадетъ Петру Савичу рюмка, онъ почнетъ пьянствовать и играетъ съ пріятелями въ карты, проигрываетъ деньги, такъ что нужно закладывать вещи или займовать, а тутъ и закладывать нечего стало и въ долгъ перестали давать. Такъ прошло до Николина дня, а послѣ него стала Прасковья Игнатьевна замѣчать, что Петръ Савичъ и худѣетъ, и скучаетъ; придетъ со службы домой и, не раздѣваясь, ходитъ по избѣ. Она кушанье уже поставила на столъ, а онъ все ходитъ да папироски-вертѣлки куритъ.

— Петръ Савичъ?

Онъ молчитъ.

— Хочешь ѣсть-то?—спроситъ она его шутя.

— Чево?

— Наплевать!

Очнется какъ будто Петръ Савичъ, молча сядетъ за столъ, молча и нехотя ѣстъ.

— У тебя ровно завязло што-то въ роту-то. Али водки давно не пивалъ?

Онъ поморщится, сморкнется и ничего не отвѣтитъ.

— Въ рабочіе хочу идти,—сказалъ Курносовъ.

— Ну, такъ што!.. Я вонъ ужъ три пары варежекъ связала, авось Богъ дастъ и продамъ.

— Вотъ ужъ! а шерсти-то сколько издержала?.. Здѣсь не городъ.

Послѣ этого разговора Петръ Савичъ скоро ушелъ, а немного погодя къ ней пришла одна торговка, у которой она покупала мясо.

— Слышала новость: твой-то муженекъ съ Машкой Баклушиной таскается.

Прасковья Игнатьевна поблѣднѣла и не могла выговорить.

— Не вѣришь? Хоть кого спроси.

— Уйди ты отъ меня. Это ты сдуру.

Торговка ушла.

Прасковья Игнатьевна думала, что этой бабѣ злые люди наврали по глупости такую нелѣпость; но какъ только станетъ она ласкаться къ Петру Савичу, онъ отворачивается и злится.

— Петя, ты пошто нонѣ такой?

— Отстань! Фу ты...—крикнетъ Петръ Савичъ.

Прасковья Игнатьевна заплачетъ, а Петръ Савичъ уйдетъ и воротится домой пьяный, но не бьетъ и не ругаетъ ея.

Опять горе стало душить Прасковью Игнатьевну: то она задумается, то заплачетъ; надо идти по воду—она идетъ къ сосѣду, старику Занадворову,

и какъ войдетъ къ нему, плюнетъ и скажетъ:— оказія! штой-то со мной дѣется?

— Што, Петруха-то запилъ?—спроситъ ее Занадворовъ.

— Не знаю.

— Ну, да дѣло-то къ празднику, молодой человѣкъ. Знамо съ горя.—Дѣло приближалось къ масляницѣ.

— Да денегъ нѣтъ.

— Ну, это другое дѣло. Совѣтовъ-то слушать онъ только не любитъ. Радъ бы я его на путь наставить, да съ дуракомъ и Богъ неволенъ. Ты бы въ контору и къ пѣвчимъ сходила, къ этому дураку-балагуру Потапову, и сказала: не давайте, молъ, ему денегъ.

Сходила Прасковья Игнатьевна въ контору, сказали:—онъ ужъ теперь не учитель, а што поетъ, такъ это его охотка.

Сердце сжалось у Прасковьи Игнатьевны. Потаповъ сказалъ, что Петръ Савичъ не послушался его совѣтовъ не пить въ школѣ водку; говоритъ: «не могу, ребятъ въ школѣ сколько, а возиться съ ними холодно». Управляющему подалъ прошеніе о перемѣщеніи училища въ другое мѣсто—прошеніе перехватили, а его уволили непремѣннымъ работникомъ и только за пѣніе не посылаютъ на работы.

Тонъ, съ какимъ говорилъ все это Потаповъ, сильно не понравился Прасковьѣ Игнатьевнѣ, и она сожалѣла о томъ, что пришла къ нему, а не къ другому. Она даже думала, что онъ издѣвается надъ Петромъ Савичемъ, и не хотѣла вѣрить ни одному его слову.

Наступила масляница; первый день Петръ Савичъ провелъ дома и жаловался женѣ, что его обидѣли. Потаповъ вѣрно говорилъ объ обстоятельствѣ, служившемъ поводомъ къ увольненію Петра Савича отъ учительской должности. Слушая его слова, Прасковья Игнатьевна обнимала его и плакала.

Два дня Петръ Савичъ пробылъ дома, потомъ его пригласили на похороны—и исчезъ Петръ Савичъ. Сосѣдъ Занадворовъ тоже закутился куда-то, и пошла Прасковья Игнатьевна разыскивать своего мужа.

По случаю масляницы большинство рабочихъ не работаетъ; начальство кутитъ въ это время и раскучивается въ пятницу, когда на фабрики и на рудники ни одну собаку не загонишь, да и сторожа тамъ тоже не живутъ. Короче—съ пятницы до чистаго понедѣльника въ заводѣ пьянство всеобщее; о катаньяхъ и говорить нечего; даже самъ управляющій поощряетъ катушку (гору, сдѣланную на пруду), освѣщаетъ ее фонарями вечеромъ и заставляетъ музыкантовъ потѣшать публику.

Несмотря на то, что на пруду есть катушка, въ рѣдкомъ дворѣ нѣтъ своей катушки; въ рѣдкомъ дворѣ съ утра до вечера не катаются ребята на саняхъ, на лубкахъ или просто на штанахъ. Однако до обѣда на улицахъ рѣдко-рѣдко проѣдетъ рабочій на дровняхъ; только во дворахъ хохочутъ ребята.

Въ одномъ изъ такихъ дворовъ, около растворенныхъ воротъ, стояли двѣ молодыя женщины; одна изъ нихъ жаловалась другой на своего мужа. Увидѣвъ Прасковью Игнатьевну, одна женщина остановила ее:

— Постойко-сь, Курносиха! ты не слыхала новость?

— Ну?

— Вчера твой-то муженекъ съ Санькой Подковыркиной кораблемъ катался.

— Это што! — онъ говоритъ: мнѣ теперь все одно... Жену, говоритъ, жалко трогать, потому— убивается оченно.

Прасковья Игнатьевна ничего не могла сказать на это: въ глазахъ ея рябило, въ головѣ была путаница.

— Какая ты злосчастная! Сходи въ палицу.

Прасковья Игнатьевна не рѣшилась идти въ полицію. Она провѣдала тетку, дала ей блиновъ; тетка поблагодарила ее, поразспросила про мужа. Это ее еще больше разстроило.

Небо ясно; солнышко весело глядитъ. Холодно; дуетъ съ пруда рѣзкій вѣтерокъ. По фабричной улицѣ впередъ и взадъ точно плывутъ сани, пошевни, кошевы, запряженныя каждыя по одной лошади, которыя изукрашены для праздника бубенчиками, колокольчиками, сковородками. Въ каждыхъ саняхъ, пошевняхъ, въ кошевахъ сидятъ люди обоихъ половъ и разныхъ возрастовъ. Мужчины почти всѣ пьяны, женщины полупьяны; сидятъ въ различныхъ позахъ; въ различныхъ костюмахъ, нѣкоторые безъ шапокъ, нѣкоторыя безъ платковъ; многіе играютъ на гармонійкахъ, балалайкахъ, поютъ пѣсни. Перейти дорогу невозможно. Прасковья Игнатьевна пошла къ катушкѣ. Кое-какъ Прасковья Игнатьевна добралась до Господской улицы. Тамъ впереди плывущихъ саней и пошевней стоятъ, толкутся, идутъ люди всякихъ возрастовъ, а впереди ихъ ѣдетъ масляница. Въ небольшой кошевѣ, запряженной въ одну лошадь, сидятъ человѣкъ десять мужчинъ, которые держатъ высокій шестъ съ развѣвающимися флагами; отъ верхушки этого шеста тянутся къ угламъ кошевы веревки, почему шестъ походитъ на мачту, а сама кошева называется кораблемъ. Въ серединѣ кошевы сидитъ нарядный человѣкъ на колесѣ. Онъ и сидящіе въ кошевѣ конюхи (рабочіе конныхъ машинъ на рудникахъ) поютъ слѣдующую пѣсню:

По горенкѣ похожу,
Въ окошечко погляжу, (2 раза)
По миленькомъ потужу!
Тужитъ-плачетъ дѣвица, (2 р.)
Уливается слезами.
Залила любезная (2 р.)
Всѣ дорожки и лужка,
Круты славны бережка. (2 р.)
Сбережку, спокамешку
Бѣжитъ рѣчка, не шумитъ,
И спокамешку не гремитъ! (2 р.)
Въ саду, во садикѣ
Соловей громко поетъ. (2 р.)
Ты не пой, соловеюшко,
Громко звонко во саду! (2 р.)
Не давай назолушку
Къ сердечку моему. (2 р.)
Безъ тово мое сердечко
Изнываетъ все во мнѣ; (2 р.)
На чужой сторонушкѣ
Стосковалась живучи; (2 р.)
Чужая сторонушка
Безъ вѣтра сушитъ-крушитъ. (2 р.)
Чужо-етъ отецъ и мать
Безъ вины журятъ, бранятъ,—(2 р.)
Все побить дѣвку хотятъ!
Посылаютъ дѣвицу (2 р.)
На ключъ по воду съ ведромъ,

По морозу босикомъ! (2 р.)
Прищипало ноженьки,
До ключика идучи; (2 р.)
Ознобила рученьки,
Свѣжу воду черпучи. (2 р.)
Кабы знала-вѣдала,
Дѣвка замужъ не пошла (2 р.)
За стараго старика:
Старой не отпуститъ никуда. (2 р.)

Эту пѣсню пѣла теперь вся гуляющая и ѣдущая заводская публика.

Подъѣхала масляница къ господскому дому, остановилась, снова запѣла пѣсню. Изъ дома управляющаго вышла прислуга, потомъ расфранченный лакей поднесъ масляницѣ, т. е. расфранченному рабочему, предсѣдательствующему на колесѣ, трехрублевую бумажку и сказалъ:

— Карлъ Иванычъ приказалъ гулять за его здоровье.

— Мы здоровы, какъ коровы!

— Побольше бы давалъ!.. Скажи ему поклонъ отъ масляницы,—галдѣли рабочіе, и масляница тронулась на плотину.

Прасковья Игнатьевна пошла на прудъ къ катушкѣ. Посрединѣ пруда сдѣлана большая высокая гора, обставленная елками, разукрашенная флагами на господскій счетъ. По ней катались на санкахъ со стальными полозьями и на конькахъ ребята, молодые люди, было даже два старика охотниковъ до катанья; а вокругъ нея двигались сани, пошевни, наполненныя людьми, и толпилось много народу, который щелкалъ мелкіе кедровые орѣхи. Всѣ катающіеся, гуляющіе и смотрѣвшіе стоя на катающихся были очень веселы, пѣли, кричали, хохотали, если кто-нибудь перевертывался на катушкѣ и раскраивалъ себѣ носъ или губу. Версты за полторы отъ катушки, налѣво шла потѣха ребятъ: они съ ожесточеніемъ дрались, и на эту буйную толпу съ удовольствіемъ смотрѣли нѣсколько человѣкъ рабочихъ.

Походила Прасковья Игнатьевна нѣсколько времени, горько ей; молодые мужчины то и дѣло приглашаютъ ее прокатиться, а она спрашиваетъ: «гдѣ Курносовъ?» ей отвѣчаютъ: «у Савки въ лавкѣ».

Пошла; глядитъ въ разныя стороны. «Нѣтъ, не найдешь: народу видимо-невидимо»... Вдругъ видитъ: народъ валитъ отъ катушки въ одну сторону, народъ хохочетъ, кричитъ: «хорошенько! такъ его! ево выстегать бы!.. Кто это? — Курносовъ Аристархова бьетъ.—Увели въ полицію.—Ково?—Курносова».

— Экая я несчастная! — думаетъ Прасковья Игнатьевна и идетъ домой.

На другой день она отправилась къ исправницкому письмоводителю.

Письмоводителемъ таракановскаго заводскаго исправника въ это время былъ урядникъ горнаго правленія Иванъ Иванычъ Косой. Самъ исправникъ хотя и смыслилъ слѣдственную часть, но мало занимался дѣлами, потому что честно производить слѣдствіе нельзя было. Напримѣръ: накуралеситъ много приказчикъ—ничего не будетъ приказчику, стоитъ только подарить исправника; представятъ къ исправнику рабочаго съ полосой желѣза, и рабочій по слѣдствію оказывается большимъ воромъ; если же рабочій самъ не промахъ или заподозрится состоятельный человѣкъ, то дѣло составится такъ, что въ немъ виноватаго никого не найдено. Если бы исправникъ былъ человѣкъ честный, такой, какихъ требовалъ законъ, то ему не прожить бы въ заводѣ ни одного мѣсяца: его бы обвинили во взяткахъ. Поэтому исправникъ брался только за самыя крупныя дѣла, а остальное сваливалъ на письмоводителя, который самъ писалъ допросы и показанія, часто подписывался подъ руку исправника и даже такъ ловко велъ дѣла, что о многихъ исправникъ вовсе не зналъ. На этомъ основаніи Косова знали больше исправника, и всѣ обращались сперва къ нему, а ужъ потомъ къ исправнику, который въ свою очередь отсылалъ къ письмоводителю—и пр., и пр...

Косой, человѣкъ лѣтъ тридцати, краснощекій, съ коротенькими волосами и въ форменномъ сюртукѣ, отбиралъ допросы отъ одного рабочаго.

— Ты не рядись.

Рабочій досталъ изъ-за пазухи кошель, досталъ изъ кошеля неохотно трехрублевую и подалъ письмоводителю.

— Э—э!

— Ослобони, Иванъ Иванычъ... самъ знаешь, дѣло торговое... по насеткѣ (по наговору).

— Ничего не могу сдѣлать: Яковлевъ подарилъ лошадь управляющему.

Письмоводитель сталъ писать, потомъ, немного погодя, спросилъ рабочаго:

— Подпишешься?

— Прочитать бы.

— Это еще что? Эдакъ всякій будетъ читать, у меня времени не хватитъ... Подписывай.

Рабочій подписался.

— Андреевъ!—крикнулъ Косой.

Вошелъ десятникъ.

— Запри.

— Батюшко, Иванъ Иванычъ...

— Ну, ну!..

Рабочаго увели. Вошла Прасковья Игнатьевна, низко поклонилась письмоводителю.

— Ты што?

— Ослобони Петра Савича.

— Кто онъ? чей?

— Курносовъ.

— Въ лазаретѣ!

Пошла Прасковья Игнатьевна въ лазаретъ. Это было большое каменное зданіе, находящееся за фабриками. Въ немъ было двѣ половины: черная и бѣлая. Въ черной помѣщались непремѣнные работники и ихъ жены, а въ бѣлой мастеровые. Курносовъ лежалъ въ бѣлой. Прасковья Игнатьевна едва узнала своего мужа: носъ сдѣлался вострымъ... При видѣ жены онъ что-то пробормоталъ и пригласилъ ее рукою сѣсть на кровать.

Она сѣла.

— Петя! голубчикъ, — говорила, рыдая, Прасковья Игнатьевна; сердце ея словно на части разрывалось.

Но Петръ Савичъ только руками разводилъ.

Посидѣла Прасковья Игнатьевна у больного съ часъ и пошла.

— Вылечите его ради Христа, — говорила она фельдшеру.

— Вылечимъ,—утѣшалъ ее фельдшеръ.

Вышла она изъ лазарета, ее пошатываетъ; она плачетъ.

— Господи, какая я несчастная!

— Што у те, али кто померъ? — спросилъ ее мастеровой.

— Ой, мужъ хвораетъ!

— Эко дѣло! Уповай на Бога.

Отошла Прасковья Игнатьевна немного, остановилась и не знаетъ, что дѣлать. Домой идти страшно. Ноги отказываются тащить; животъ болитъ сильно. «Пойду я къ ворожеѣ Бездоновой... спрошу ее»...— и отправилась она къ Бездоновой, жившей за лазаретомъ въ фабричномъ порядкѣ.

XIX.

Марфа Потаповна Бездонова жила на самомъ краю завода, подъ горой. Домъ ея старый, стѣны кое-какъ поддерживаются подпорами, и не защищай его гора и противоположные дома отъ вѣтра, онъ давно-бы рухнулъ на какую-нибудь сторону. Къ этому дому даже заплота нѣтъ; заплотъ былъ, да понемногу разсыпался, а строить новый Бездонова, говорятъ, не считала за нужное. Говорятъ, что на предложеніе построить заплотъ, она имѣетъ такое свое мнѣніе: «построю—помру». Но у нея было тоже опять-таки, говорятъ, на это нѣсколько причинъ, и изъ нихъ самая важная: черезъ ея дворъ ходили къ внуку ея Корчагину бѣглые рабочіе, которые приносили ему, будто бы, золото.

Въ избѣ Бездоновой темно и не было никого. Прасковья Игнатьевна кое-какъ дошла до лавки и сѣла къ окну. Она не видывала Бездоновой и думала теперь: «какъ я буду разговаривать съ ней, не видавши ея: какъ да она начнетъ ругаться»... Немного погодя въ избу вошла сгорбившаяся старуха съ бѣлымъ морщинистымъ лицомъ и сѣдыми волосами. Она кряхтѣла и охала; казалось, что она утомилась. Прасковья Игнатьевна встала.

— Здорово, бабушка,—сказала она.

— А кто тутъ? темно, не вижу.

— Это я.

— А кто ты?

Старуха подошла близко къ ней, стала разглядывать ее.

— Видала. Не ты ли учительша-то?

— Да.

— Вотъ какая ты!.. А... Ну, садись... Слыхала я, мать моя, о тебѣ много... Здоровъ ли Курносовъ-то?

Прасковья Игнатьевна заплакала.

— Голубка!—сказала старуха.

Когда Прасковья Игнатьевна успокоилась немного, старуха спросила ее:

— А ты не беременна ли?

— Ой, не могу! Беременна я, бабушка.

— Ну, такъ пойдемъ. Я те ко внуку сведу.

Кое-какъ Прасковья Игнатьевна доплелась до дома Корчагина, кое-какъ она взлѣзла на полати, а какъ взлѣзла, такъ и почувствовала страшную боль. Она выкинула мертваго младенца и не могла придти въ себя часа три.

Марфа Потаповна Бездонова много пережила и времени, и людей, и много перенесла горя; другія женщины въ ея лѣта забываютъ многое изъ пережитаго, но она все помнитъ. Замужъ она вышла не рано, но черезъ полгода мужъ утонулъ. Другой мужъ попался чахоточный и тоже скоро умеръ; только съ третьимъ мужемъ она прожила двадцать лѣтъ и прижила съ нимъ двухъ сыновей и одну дочь. Но она и сыновей пережила и теперь живетъ въ избѣ второго мужа, а въ домѣ третьяго мужа, находящагося рядомъ съ ея избой, живетъ дочь Акулина Васильевна Корчагина, слѣпая женщина, съ сыномъ Васильемъ Васильевичемъ и дочерью Варварой Васильевной. А такъ какъ Марфа Потаповна жила въ своей избушкѣ одна, да еще на отбойномъ мѣстѣ у горы, то слободчане поговаривали, что она непремѣнно съ чертями водится. На это у нихъ было нѣсколько основаній, напр. то, что ее въ Козьемъ Болотѣ не видали уже годовъ съ семь, а въ фабричномъ порядкѣ она къ очень немногимъ ходила; потомъ Марфа Потаповна еще при первомъ мужѣ ворожила. Надо замѣтить, что въ таракановскомъ заводѣ не было и нѣтъ ни одной дѣвушки, которая бы не ворожила въ карты и не гадала на оловѣ во время святокъ. Сначала Марфа Потаповна ворожила въ карты ради баловства ребятамъ, а потомъ ворожба ея вошла въ привычку, въ прибыль. Послѣ смерти послѣдняго мужа она была уже извѣстна всѣмъ въ заводѣ за отличную ворожею, и къ ней приходили не только дѣвки, жены рабочихъ, но даже сама приказчица и дочери членовъ главной конторы. Когда у Бездоновой измозолились карты до того, что ни на что не годились, то она никакъ не хотѣла покупать новыхъ картъ и стала гадать на водѣ. Ужъ Богъ ее знаетъ, что она клала въ воду, только приходившія къ ней женщины говорили, что онѣ видѣли въ водѣ то лицо, то домъ или что-нибудь въ родѣ этого. Оттого-то никто въ заводѣ не пользовался такою довѣренностью, какъ она, и никто не имѣлъ столько богатыхъ матеріаловъ для разсказовъ, какъ она; только отъ нея трудно было выклянчить какое-нибудь слово.

Съ годами, говорятъ, мѣняется въ человѣкѣ и наружность, и характеръ. Марфа Потаповна послѣ смерти послѣдняго мужа значительно измѣнилась и наружностью, и характеромъ. Къ суровой наружности нужно прибавить еще грубый выговоръ. Прежде ее можно было застать всегда дома утромъ, а теперь какъ ни придешь, почти всегда у нея избушка на клюшкѣ. И вотъ къ названію колдуньи прибавили еще *векша*, и всѣ люди отъ мала до велика въ заводѣ стали говорить: «Бездонова вчера изъ трубы векшей вылетѣла; Бездонова изъ брюха ребятъ таскаетъ». Бездоновой стали бояться: стали ходить къ ней только люди самые храбрые. Бездонова это знала, но, не обращая вниманія, говорила одно: «дуры... мнѣ и на спокой пора, я и безъ вашихъ денегъ прокормлюсь». А у нея деньги были въ подпольи, въ корчагѣ, и объ этомъ знали только внукъ и внучка.

Когда Прасковья Игнатьевна пришла въ себя, то не могла понять, гдѣ она теперь: темно, тепло, мокро.

— Баушка!—произнесла она негромко; но никто не откликнулся. Кликнула она еще разъ.

— Што, дитятко? — откликнулась старуха и прибавила:—да ты не кричи!

— Я гдѣ?

— Спи-ко со Христомъ...

— Пошто мнѣ больно?.. неужто я...

— Ты выкинула.

— Ково?

— Мертваго.

Прасковью Игнатьевну словно кольнуло въ сердце, по кожѣ прошли мурашки. Ей не вѣрилось, чтобы она могла родить мертваго, ей даже подумалось: вѣдь она колдунья; съѣла, поди.—Старуха отворила двери, холодъ полосами поднимался съ полу, въ избѣ стало холодно. Однако старуха пришла скоро, зажгла лучину. Прасковья Игнатьевна приподняла голову и увидѣла, что изба Корчагина была гораздо больше ея избы и перегорожена надвое: тотчасъ, какъ войти въ избу, налѣво, противъ печки, перегородка, выкрашенная желтой краской. Она упирается въ полати и идетъ вплоть до передней стѣны, такъ что въ кухнѣ собственно одно окно, а въ комнатѣ два окна на улицу, да третье во дворъ. На печи лежитъ дочь Бездоновой, женщина съ сѣдыми волосами, съ морщинистымъ лицомъ. Сестра Корчагина, Варвара Васильевна, сидя у окна, прядетъ; въ комнатѣ Василій Васильевичъ строгаетъ доски. Тамъ, въ углу между перегородкой и стѣной на дворъ, стоитъ кровать съ войлокомъ и подушкой на ней; подъ кроватью сундукъ, окрашенный красной краской.

Прасковья Игнатьевна пролежала долго: скучно, а въ избѣ никто не говоритъ, только Василій Васильевичъ то стружитъ что-то, то стучитъ, насвистывая или напѣвая вполголоса, или ворчитъ про себя. Соснула она; опять темно, а въ избѣ Корчагинъ шепчется съ сестрой.

— Ну, што?

— Бросилъ.

— Никто не видалъ?

— Нѣтъ... А и увидѣли бы, такъ тоже бы присудили; куды съ нимъ, съ мертвымъ?

— Ее бы надо прогнать, чтобы опосля ловчѣе было отпереться.

Прасковья Игнатьевна не поняла этого разговора; но когда она спросила, гдѣ мертвый младенецъ, ей сказали, что похоронили его.

На третій день она слѣзла съ полатей и стала проситься домой, но ее не пустилъ Корчагинъ, говоря, что онъ, уважая Петра Савича, ни за что не отпуститъ ея. Когда же она сказала, что ей надо провѣдать его, то Корчагинъ съ удовольствіемъ вызвался сходить къ нему. Но въ этотъ день ему не удалось сходить, и онъ пошелъ на другой. Прасковья Игнатьевна съ нетерпѣніемъ ожидала его прихода. Пришелъ онъ разстроенный, блѣдный.

— Кланяется,—сказалъ онъ.

— Живъ ли?

— Поправляется.

Но черезъ часъ Корчагинъ ушелъ и воротился домой навеселѣ. На другой день ушелъ изъ дома рано, сказавъ, что надо съ одного торгаша получить старый долгъ. Пришелъ онъ поздно, тоже навеселѣ... Курносовъ померъ отъ тифа и боли въ горлѣ, но Корчагинъ успѣлъ заказать всѣмъ не говорить объ этомъ его женѣ, чтобы не убить и ее. Марфа Потаповна приняла всѣ мѣры, чтобы Прасковья Игнатьевна пожила у Корчагина подольше и исподтиха приготовилась къ такому роковому извѣстію.

Въ пять дней Прасковья Игнатьевна поправилась настолько, что могла слѣзать свободно съ полатей и ходить. Акулина Васильевна разговаривала съ ней съ удовольствіемъ; Корчагинъ, хотя и рѣдко, отвѣчалъ на ея слова, но зато онъ работалъ; сестра его куда-то уходила на сутки и когда приходила домой, то братъ косо глядѣлъ на нее. Прасковья Игнатьевна теперь уже меньше чувствовала горя. Ей казалось, что она несчастная женщина, но несчастна черезъ Курносова. «И што онъ за человѣкъ, коли пьетъ, коли мнѣ коровы не могъ купить». Но ей все-таки жалко было его, и она каждый день просила Корчагина сходить въ больницу справиться: здоровъ ли онъ. На шестой день она попросила Корчагина опять объ этомъ, но онъ промолчалъ. Она смотритъ на него; онъ посвистываетъ, а на улицѣ метель. Не терпится ей.

— Василій Васильевичъ!

— Ну!—взъѣлся Корчагинъ.

— Сходи ради Христа.

— Некогда мнѣ ходить!

— Такъ я пойду.

Корчагинъ молчитъ.

«Экой какой злой! а работа-то какъ кипитъ у него... Ишь, какъ онъ пилой-то ширкаетъ скоро!»... Долго глядѣла она на Корчагина, завидно ей стало: «вотъ», думала она, «кабы Петька-пьюга такъ робилъ! И табакъ онъ не куритъ, и всегда трезвый».

Отецъ Корчагина былъ плотникъ и кое-чему обучилъ сына. На восемнадцатомъ году онъ уже зарабатывалъ деньги дома и могъ нанимать вмѣсто себя рабочаго на фабрику, а за даровую работу заводскому приказчику его причислили къ разряду мастеровъ. Такихъ хорошихъ мастеровъ, какъ Корчагинъ, въ заводѣ было не много, и онъ получалъ большіе заказы, но работалъ одинъ, потому что считалъ неприличнымъ для себя имѣть работниковъ. Онъ не жилъ въ другомъ порядкѣ, потому что привыкъ къ родному гнѣздышку, къ сосѣдямъ, къ тишинѣ; тутъ была еще и другая причина, о которой мы узнаемъ впослѣдствіи. Здѣсь ему никто не завидывалъ, и онъ во всемъ заводѣ считался за честнаго и разсудительнаго человѣка,

— Послушай, Прасковья Игнатьевна: и што тебѣ за охота ходить въ лазаретъ? Помретъ, такъ не важность,—проговорилъ вдругъ Корчагинъ.

— Ишь ты, помретъ!

— Хороша жизнь съ пьяницей?

— И не грѣхъ тебѣ обижать меня!

— Чево грѣхъ! я дѣло говорю. Помретъ — не важность. Только надо не зря замужъ выходить, какъ ты... А впрочемъ—вѣдь приказный... какъ же!

Задумалась надъ этими словами Прасковья Игнатьевна, и горько ей, что про ея мужа такъ говорятъ; но она почти согласилась съ этими словами. «Ужъ не лучше ли ему помереть што ли! Не мучился бы... Право».

— Я домой пойду,—говоритъ она.

— Какъ знаешь. Если бы ты померла, а то хворать будешь,—говоритъ ей Корчагинъ.

Прожила она въ гостяхъ еще два дня. На третій день вечеромъ пришли къ Корчагину двое рабочихъ. Они были таракановскіе, но находились въ бѣгахъ, работали на золотыхъ пріискахъ.

— Долгонько!—сказалъ Корчагинъ весело.

— Ну ужъ и времена нонѣ! нигдѣ нѣтъ счастья: вездѣ билеты спрашиваютъ, а въ городѣ и безъ насъ много народу... Этта на большой дорогѣ сцапали было насъ, да мы утекли.

— Ну, какъ на промыслахъ?

— Да што! съ мѣсяцъ робили, замѣсто крестьянъ насъ считали. Такъ-ту ватага у насъ большая—человѣкъ, почитай, пятьдесятъ, да порядку мало: всякъ норовитъ себѣ карманъ набить. Ну, да это пустое, а то вотъ обидно: заставятъ работать, да потомъ шею намылятъ, иди, значитъ, туда, отколѣ пришелъ. А кои знаютъ, што бѣглой — молчи! представимъ. Ну, и робишь, какъ кротъ. Теперь мы золото сами искали. Придешь къ управителю и говоришь: такъ и такъ, крестьянинъ. Знаю, говоритъ... Ну, говорю: хочу золото искать, почемъ положишь, ваше благородье? А ты, говоритъ, представь перво, тогда и положу. Хошь, говоритъ, по рублю за золотникъ, а самъ отъ казны, говорятъ, три рубля за это получаетъ, ну, и срядишься за рубль семьдесятъ... Получишь кружку съ печатью и пойдешь золота искать, выспрашивать у крестьянъ: нѣтъ ли крупки, или обманешь, какъ ни на есть. Ну, получишь золота тамъ съ фунтъ, жалко попускаться, да владѣть нельзя. Принесешь къ управителю, онъ и разсчитываетъ по рублю, а спорить станешь, обыщу, говоритъ, въ палицу посажу и бумагу, говоритъ, такую дамъ, что ты никакой работы болѣ не получишь... Ну, и возьмешь по рублю, потому расчетъ самому нужно сдѣлать съ крестьянами да товарищами...

А потомъ ужъ управитель такъ дѣлаетъ: возьметъ въ книгѣ и напишетъ расходъ—такому-то дано за золото по три рубли; а не то, чтобы начальству угодить, и по два съ полтиной напишетъ. Ему, глядишь, и повышенье, а намъ посрамленье.

Стали ужинать.

— А ты, Василій Васильевичъ, не слыхалъ про волю?

— Про какую?

— Въ городѣ были, такъ тамъ рабочіе калякаютъ, только ничего тутъ не поймешь.

— Пропишутъ ужо вамъ волю!

— Истиннымъ Богомъ, говорятъ: дадутъ намъ такую волю, што на всѣ четыре стороны хоть ступай.

Корчагинъ захохоталъ, гости осердились и ушли спать къ старухѣ Бездоновой, отдавъ Корчагину какой-то свертокъ.

Утромъ, прощаясь съ Корчагинымъ, они совѣтовали Прасковьѣ Игнатьевнѣ ѣхать въ городъ.

— Вамъ, бабамъ, ничего: съ васъ билетовъ мало спрашиваютъ, а если и спросятъ, то можно сказать: потеряла, молъ. Да и бабъ разныхъ въ городѣ много, поэтому и вашей братьи тамъ много требуется. Иная барыня сама гроша не стоитъ, а прислуги у ней бабьей штуки три али больше.

Утромъ послѣ этого разговора Корчагинъ спросилъ Прасковью Игнатьевну:

— Тебѣ который годъ?

— Мнѣ?.. лѣтомъ двадцатый пойдетъ. А што?

— Такъ. Я тебѣ тоже совѣтую въ городъ ѣхать; у меня тамъ есть купецъ Бакинъ, я къ нему поѣду скоро, а если у него нѣтъ для тебя мѣста, такъ у меня тамъ богатые первостатейные мастера есть. Только ты баба красивая.

— А мужъ-то?

— Коли онъ не будетъ пить, пріѣдетъ къ тебѣ.

— Ну ужъ.

Прасковья Игнатьевна обидѣлась и рѣшилась завтра же отправиться домой.

Когда она пошла, то въ ноги поклонилась Бездоновой и Корчагину.

— Коли въ городъ намѣрена, то приходи, я черезъ двѣ недѣли ѣду. И дядя твой ѣдетъ со мной...

На улицѣ тепло. Солнышко то застилается тучами, то выглядываетъ снова туманнымъ кружкомъ. Кое-гдѣ изъ трубъ поднимается сѣрый дымъ, доказывающій, что въ этихъ домахъ печки еще истапливаются. Кое-гдѣ покажется на краешкѣ трубы сорока, воробышекъ, посидятъ, поклюются и летятъ снова. Съ крышъ каплетъ, на солнечной сторонѣ со стеколъ спалзываютъ все ниже и ниже куржаки, и падаютъ на снѣгъ съ крышъ и рамъ сосульки.

По улицѣ никто не ѣдетъ; во дворахъ кое-гдѣ кричатъ ребята, гогочутъ курицы, мяукаютъ кошки.

Ноги у Прасковьи Игнатьевны начинаетъ щипать, потому что въ худыя ботинки попадаетъ мокрый снѣгъ, подолъ сарафана вымокъ до колѣнъ.

Дошла она до своего дома и ужаснулась. Три стекла выбито, калитка настежь. Во дворѣ нѣтъ ни дровъ, ни саней, ни дровенъ.

Двери въ погребъ тоже отворены, въ погребу точно Мамай воевалъ: горшки, корчаги перебиты, откуда-то кирпичи принесены. Въ сѣняхъ хоть шаромъ покати. Дверь въ избу отворена, и половинка держится на одномъ нижнемъ шалнерѣ; столъ опрокинутъ посреди избы; въ избѣ стужа.

— Што за оказія! — удивлялась Прасковья Игнатьевна.

Взглянула на печь,—тамъ сидитъ парень лѣтъ тринадцати и палкой ковыряетъ дыру въ трубѣ.

— Што ты тутъ, разбойникъ, дѣлаешь!—крикнула на парня Прасковья Игнатьевна; парень ей языкъ показалъ. Она стала искать, чѣмъ бы ей побить парня, да ничего не нашла. Ступила она на приступокъ печки, парень ударилъ ее по рукѣ палкой и сказалъ:—куда лѣзешь, шкура! домъ-отъ нашъ!

Парень кое-какъ ушелъ, грозясь, что онъ тятькѣ и мамкѣ пожалуется на нее. Смела она руками

снѣгъ со скамеекъ, поискала топора, чтобы порубить что-нибудь на дрова. Нѣтъ.

— Гдѣ же мамонька?

Пошла въ огородъ: слѣды есть, только давнишніе. Не въ банѣ ли она? Ототкнула она окошечко, имѣющее видъ отдушины; въ банѣ все-таки темно, отъ окошка въ полку проходитъ лучъ свѣта. Пощупать стѣны и полокъ боязно, потому что вдругъ старуха можетъ схватить ее и изгрызть. Машинально вышла она за баню, подошла къ ямѣ, которую дядя ея прошлое лѣто копалъ на завалины къ дому— и вскрикнула. Тамъ лежала ея мать внизъ головой.

— Мамонька! — крикнула она и, не получивъ отвѣта, потащила мать за ноги; но не могла сдвинуть ее.

Не помня себя, она убѣжала къ сосѣдкѣ и сказала, что мать ея упала въ яму.

— Гдѣ ты была-то?! Вѣдь мужъ-то померъ, а она по людямъ шатается.

— А штобъ те язвило, проклятую! — крикнула она и выбѣжала изъ избы.

Прасковью Игнатьевну это извѣстіе до того поразило, что она не могла устоять и сѣла на лавку, потомъ зарыдала.

Сосѣдка испугалась за нее, позвала еще сосѣдку.

— Ой! ой! Господи! Мать Пресвятая Богородица!—рыдала Прасковья Игнатьевна.

Кое-какъ сосѣдки уняли ея рыданія разсужденіемъ, что чему быть, того не миновать: всѣ мы подъ Богомъ ходимъ.

Мало-по-малу Прасковья Игнатьевна успокоилась, сказала, что она была все это время у Бездоновой и на другой день послѣ того, какъ была въ лазаретѣ у мужа, выкинула мертваго. Сосѣдки жалѣли ее, но, какъ опытныя женщины, совѣтовали ей не убиваться; что пожалуй она замужествомъ немного выиграла, потому что вонъ Семенъ Покидкинъ за долги Курносова думаетъ домъ у Прасковьи Игнатьевны отнимать.

Прасковья Игнатьевна только плакала. Она ничего не могла теперь придумать хорошаго. Сообщила она о смерти матери. Сходили сосѣдки въ огородъ Глумовыхъ, потужили, покачали головами и ушли, не зная, что дѣлать.

— Дядѣ бы надо сказать,—сказала Прасковья Игнатьевна сосѣдкѣ.

Она не могла идти.

Глумовъ пріѣхалъ въ саняхъ, старуху вытащили изъ ямы, принесли въ комнату, обмыли, положили на столъ.

Черезъ день ее похоронили рядомъ съ Петромъ Савичемъ.

Прасковьѣ Игнатьевнѣ страшно казалось жить въ отцовскомъ домѣ, и она пошла къ Глумову и двѣ недѣли пролежала въ горячкѣ.

XV.

Жизнь тараканов скихъ обывателей текла обычнымъ, медленнымъ ходомъ. Что̀ было сегодня, то будетъ завтра, и т. д. Но и заросшее тинистое болото не всегда имѣетъ ровную поверхность, и его волнуютъ вѣтры и непогоды. Наши тараканов цы имѣли также свои бури. Невозмутимая ихъ жизнь порою возмущалась разными изъ ряду выходящими событіями.

Избѣгая повтореній, я постараюсь короче изложить сущность дѣла.

Читатели уже знаютъ, что заводскими дѣлами заправлялъ приказчикъ съ подначальными ему должностными людьми, подобно тому, какъ это и вездѣ водится. Всѣ они были изъ крѣпостныхъ. Настоящаго приказчика таракановскаго завода зовутъ Афиногеномъ Степанычемъ Переплетчиковымъ. Онъ былъ сынъ штейгера, и потому его въ дѣтствѣ на работы не требовали, а ему было дано приличное для сына должностного человѣка образованіе. Сначала онъ обучался въ заводской школѣ и учился очень прилежно, несмотря на то, что учителя о наукахъ смыслили столько же, сколько и заводскіе ребята, служили заводу для того, чтобы скопить денежки на черный день, и мучили ребятъ хуже другой бурсы; несмотря на самоуправство наставниковъ, которые могли и не приходить иной разъ въ школу на томъ основаніи, что управляющій считалъ низостью заглянуть туда, маленькій Переплетчиковъ заучилъ все, что̀ преподавалось по книжкамъ; мало этого, у него своего разума настолько хватало, что онъ учителей взялъ въ руки, т. е. придетъ учитель пьяный, онъ подговоритъ ребятъ кричать, свистѣть, и все-таки былъ *старшимъ*, т. е. могъ самъ замѣнять въ училищѣ должность учителей въ ихъ отсутствіе. — Потомъ онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ на заводскій счетъ. Таракановскіе владѣльцы заботились объ образованіи своихъ крѣпостныхъ. А потомъ онъ занимался дѣлами у таракановскаго повѣреннаго. Девятнадцати лѣтъ онъ зналъ очень много, т. е. зналъ всѣ плутни, черезъ которыя онъ прошелъ, и даже проводилъ повѣреннаго, плута изъ плутовъ.

Какъ образованнаго человѣка, его называли мастеромъ, т. е. человѣкомъ свободнымъ отъ работъ, что-то въ родѣ чиновника, и назначили казначеемъ главной конторы. Должность эта состояла въ томъ, что онъ записывалъ на приходъ деньги, получаемыя изъ разныхъ мѣстъ на металлы; выписывалъ въ расходъ суммы по предписаніямъ; кромѣ этого на его обязанности было выдавать рабочимъ заработную плату по правиламъ, установленнымъ *закономъ и владѣльцами*. Въ его время денежныя дѣла были очень запутаны, но онъ постарался запутать ихъ еще больше. Во-первыхъ, подрядчики по провіанту жаловались главному начальнику, что имъ не додаютъ столько-то денегъ; по отчетамъ заводоуправленія значилось, что подрядчики перебрали; а къ концу исправленія имъ должности казначея заводоуправленіе оставалось должно подрядчикамъ нѣсколько тысячъ. Во-вторыхъ, сосѣднія заводоуправленія жаловались на порубку ихъ лѣсовъ таракановцами, заводили спорныя дѣла о земляхъ, — таракановское заводоуправленіе, зная, что тутъ балуются управляющіе, мирилось съ ними деньгами; а по милости Переплетчикова вдругъ завелись спорныя дѣла о земляхъ таракановска-

го заводоуправленія съ палатой государственныхъ имуществъ тогда, когда сосѣднія заводскія земли за долги перешли въ казну... Въ-третьихъ, большая часть суммы, слѣдующей за металлы, хранилась въ кредитныхъ учрежденіяхъ, но это былъ долгъ казнѣ; въ заводѣ были свои деньги, но не гласныя: ихъ получали, продавая металлы на нижегородской ярмаркѣ; другой способъ пріобрѣтенія негласныхъ суммъ былъ не менѣе остроуменъ: металлы тонули въ рѣкахъ, а потомъ утопленники продавались купцамъ, и объ этомъ знали казначей, приказчики и управляющій; другимъ же постороннимъ лицамъ знать не полагалось. Подъ залогъ земель брались изъ казны суммы, которыя рѣдко отсылались владѣльцамъ; они поступали въ заводъ на закупку провіанта или другія экономическія надобности. Владѣльцы тратили въ годъ сотни тысячъ, но въ заводѣ выходило въ пять разъ больше; владѣльцамъ посылались краткіе отчеты, но запросовъ отъ нихъ, что много выходитъ денегъ, никогда не было. Въ-четвертыхъ, провіанту закупалось въ годъ тысячъ на сто, а люди съѣдали только на тридцать; по отчетамъ значилось, что рабочимъ выдано платы тридцать тысячъ, а рабочіе говорили, что выдано въ годъ не больше трехъ тысячъ... и проч.

Какъ видитъ читатель, должность Переплетчикова была прибыльна; но ему хотѣлось другой должности, потому во-первыхъ—много дѣла, во-вторыхъ — въ послѣднее время его службы ему пришлось получать выговоры отъ управляющаго за *безпечность*, приказчикъ говорилъ ему въ глаза, что онъ первый воръ, а рабочіе терпѣть его не могли и сложили про него такую пѣсню:

И да казначе-етъ Переплетчиковъ
Объегорилъ всѣхъ начальниковъ;
И вотъ скоро-де не баринъ нашъ,
А казначей злодѣй.
Самъ сосвѣтный лиходѣй,
Владѣть заводомъ станетъ, и т. д.

Поступилъ Переплетчиковъ караваннымъ смотрителемъ, т. е. слѣдовалъ съ таракановскими металлами, которые сплавлялись въ количествѣ до тридцати пяти барокъ. Жизнь хорошая: на пристаняхъ ходи отъ барки къ баркѣ, распоряжайся, заставляй бурлаковъ пѣсни пѣть и плясать, пей, ѣшь и спи, сколько хочешь. Но дѣло не въ этомъ. Въ каждомъ караванѣ каждый годъ разбивало барки отъ быстроты и каменистаго дна рѣки, которая, несмотря на разливы, была мелка; случались эти оказіи и съ Переплетчиковымъ караваномъ, но рѣдко, потому что онъ лоцмановъ подъ судъ отдавалъ за то, что они по ночамъ слѣпли, т. е. не могли совладать съ барками. Тонула одна или двѣ барки, а онъ писалъ больше и дѣлалъ такъ ловко, что утонувшія поступали въ его пользу. Заводоуправленіе знало объ этомъ и получало отъ него барыши. За хорошее усердіе Переплетчикова сдѣлали приказчикомъ. До него было два приказчика: одинъ по распорядительной части, другой по хозяйственной; онъ же обѣ должности сосредоточилъ въ себѣ. Приказчикъ—помощникъ управляющему. Управляющій хотѣлъ, приказчикъ исполнялъ. Но въ большинствѣ случаевъ приказчикъ заправлялъ дѣлами владѣльцевъ, потому что управляющій ничего не зналъ, и Переплетчиковъ водилъ его на помочахъ. Къ управляющему народъ не допускался, управляющаго народъ видѣлъ рѣдко; къ приказчику могъ являться всякій, онъ былъ какъ отецъ. У Переплетчикова были свои любимые мастера, нарядчики, штейгера, игравшіе въ свою очередь роль въ заводѣ.

Здѣсь кстати пояснить три пункта, упомянутые при описаніи личности казначея.

Въ заводѣ былъ какой-нибудь купецъ, который закупалъ у крестьянъ муку и заключалъ съ заводоуправленіемъ условія. Мука принималась, но оказывалась не надлежащей доброты и была съ пескомъ. Если купецъ не хотѣлъ брать муку обратно, то ему не выдавали денегъ, и заводоуправленіе покупало муку у приказчика, казначея и смотрителя магазиновъ за дорогую цѣну, причемъ рабочимъ вслѣдствіе дороговизны выдавали половинное количество муки.

Таракановское заводоуправленіе вело торговлю лѣсомъ, строило изъ него барки и другія вещи, что въ отчетахъ не показывалось; лѣсу было мало: рабочимъ его выдавали за деньги, т. е. нужно было подарить. Поэтому рабочіе рубили его воровски, выжигали по 20 верстъ въ годъ для того, что имъ дозволяли рубить пальникъ; пламя переходило въ чужіе лѣса, которые также рубили таракановцы; истреблялись межевые знаки, столбы; но виновныхъ, какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ пожарахъ, никого не находили. А вслѣдствіе истребленія межевыхъ столбовъ и знаковъ на нихъ, тѣ и другія заводоуправленія хозяйничали по сосѣдству другъ у друга и для очистки совѣсти заводили дѣла, которыя почти никогда не оканчивались по дружбѣ управляющихъ и повѣренныхъ заводскихъ...

Металловъ выплавлялось въ годъ обыкновенно больше показаннаго въ отчетахъ. Половина поступала на приходъ, другая шла въ пользу заводоуправленія и рабочихъ, съ которыхъ не брали денегъ за гвозди, утюги, браковку, ломъ и т. п. вещи; однако рабочимъ за все количество металла выписывались въ расходъ деньги на господскій счетъ такъ хитро, что никакой бухгалтеръ не подкопался бы, потому что тутъ значились прогулы, наемъ крестьянъ въ три-дорога и пр. Въ отчетахъ значились поправки зданій, покупка машинъ,—чего вовсе не было.

Комиссіонеръ, поставлявшій муку въ таракановскій заводъ, вдругъ отказался поставлять ее. Муки было немного въ магазинахъ, закупать негдѣ, потому что время осеннее, да и въ заводской конторѣ нѣтъ денегъ. Рабочимъ муки не даютъ, не даютъ денегъ за работу, а даютъ билеты на рубку лѣса для дровъ изъ самыхъ дальнихъ дачъ, гдѣ и рубить нечего, а потомъ хватаютъ ихъ за то, что они лишній возъ нарубили. Народъ голодаетъ, волнуется, цѣлый день не отходитъ отъ главной конторы; кабаки пусты, много больныхъ...

Управляющій жилъ въ городѣ: онъ дожидался

разрѣшенія отъ министерства о выдачѣ денегъ подъ залогъ одной дачи и въ счетъ будущихъ металловъ.

Заводское начальство безпокоится. Приказчикъ раздалъ рабочимъ свои деньги и сказалъ, что они должны винить управляющаго за его безалаберность. Рабочіе успокоились; но хлѣбъ на рынкѣ былъ дорогъ.

Издержали рабочіе деньги—перестали работать.

Начальство молчитъ.—«Мы сами два мѣсяца по милости управляющаго не получали ни жалованья, ни провіанта».

Пріѣхалъ къ приказчику нарочный отъ повѣреннаго изъ города съ такимъ извѣстіемъ: «Карлъ Иванычъ черезъ день пріѣдетъ сюда. Денегъ ему выдали тридцать тысячъ».

— Тридцать тысячъ впередъ за четыре мѣсяца!—Да онъ съ ума сошелъ! Намъ нужно восемьдесятъ...—говорилъ приказчикъ и призвалъ къ себѣ на совѣтъ казначея главной конторы.

— Я удивляюсь, отчего владѣльцы наняли въ управляющіе такого дурака, что намъ и рабочимъ придется кору глодать; а ему все ни по чемъ, потому онъ нахапалъ.

— Да еще какъ!.. Владѣльцы изнабазулились (избаловались): они думаютъ, что только одни инженеры честные люди... Посмотри-ко въ другихъ заводахъ, гдѣ управляющіе изъ крѣпостныхъ, тамъ всѣмъ рай-житье: всѣ сыты и довольны. Вотъ бы тебя въ управляющіе...

— Однако я подверну исправнику такое дѣльцо,—ты только не говори.

— О!

— Мнѣ наплевать: я купецъ.

— Счастливецъ!—Однако надо что-нибудь дѣлать?

— Я хочу выйти.

— Полно пожалуйста прималындывать-то (представляться). Тебя никакой шайтанъ (чортъ) съ этого мѣста не стуритъ. Тебѣ заводоуправленіе сколько должно?

— Да тысячъ двадцать семь.

— А мнѣ три тысячи сто. Я думаю продать муки.

— Гм! плутъ!!.. По чемъ ты думаешь?

— По рублю.

— Возьми семь гривенъ, вѣдь мука-то ржаная, самъ посуди. На што я, и то хочу продать по семи гривенъ... Безбожникъ!

— Если вы по семи, я согласенъ по шести.

— Я по пятидесяти пяти, потому что я имѣю въ виду не одну тысячу кулей.

— У меня сотни; а у васъ тьмы сотенъ... Я не могу меньше шестидесяти.

— Ну, ладно, тамъ увидимъ. Я доложу нашему дармоѣду.

Черезъ день пріѣхалъ управляющій, явились къ нему заводскій исправникъ, приказчикъ и казначей, поздравили съ пріѣздомъ.

— Ну что, работаютъ?—спросилъ управляющій приказчика.

— Да... Только хлѣба нѣтъ, денегъ нѣтъ.

— Я привезъ! привезъ!! какъ вы смѣете мнѣ говорить дерзости? Я зачѣмъ ѣздилъ?

— А позвольте васъ спросить, сколько вы привезли?—спросилъ храбро приказчикъ.

— Тридцать тысячъ!

— А нужно восемьдесятъ.

— Что?!

— Вы имѣете донесеніе.

— Очень нужно мнѣ возиться со всякимъ хламомъ!.. Ну, а вы что скажете: смирно у васъ?—спросилъ управляющій исправника.

— Точно такъ-съ.

— Главный начальникъ недоволенъ вами.

И управляющій быстро ушелъ изъ залы: значитъ, съ вами холуями не хочу больше разговаривать.

— Дуракъ!—сказалъ приказчикъ.

— Тоже объ мелочахъ толкуетъ!—прибавилъ казначей.

— Попрекаетъ горнымъ членомъ, а я чѣмъ виноватъ?—говорилъ болѣзненно исправникъ.

Въ этотъ день управляющій вдругъ изволилъ приказать заложить сани въ одну лошадь и былъ очень взволнованъ. Когда ему доложили: лошадь готова-съ, онъ спросилъ лакея:

— Ты кто такой?

— Клюшкинъ.

— Кто ты такой?

Лакей молчитъ.

— Ты чей?

— Чево изволите спрашивать?

— Свинья!—прошипѣлъ управляющій и вышелъ на улицу. Когда онъ сѣлъ въ сани, кучеръ не трогался!

— Пошелъ!

— А лакея нѣту-ка.

— Не нужно! не разговаривать!!. А ты, пріятель, изъ какихъ?

— Чево?...

— Погодите, я уже доберусь до васъ!!

— Куда, ваше сіятельство, ѣхать?

— Вези меня на фабрику, вези повсему заводу...

Кучеръ удивился: управляющій рѣдко бывалъ на фабрикахъ и вдругъ прямо съ пріѣзда ѣдетъ туда. Онъ подумалъ: «вѣрно генералъ (ревизоръ заводовъ отъ правительства) журовитъ (спѣшитъ) ѣхать сюда; вѣрно непорядки какіе-нибудь пронюхалъ».

— Это что тамъ?—указалъ управляющій на порядокъ Козье Болото.

— А это Козье Болото. Тамъ живетъ все отпѣтый народъ, все кержаки.

— Кто?

— Кержаки.

— А что это такое за кержаки?

— Они по старой вѣрѣ все: двумя пальцами молятся.

— Ахъ, помню что-то, въ корпусѣ слыхалъ. Вези къ нимъ!

Подъѣхали къ кузнечной фабрикѣ. Заперта.

— Это что значитъ?—спросилъ управляющій кучера.

— Да провіанту нѣту-ка въ магазеяхъ—и не робятъ.

Поѣхали въ Козье Болото.

— Чей домъ?—спросилъ управляющій кучера, указавъ на лѣвый угольный домъ, когда въѣхали на улицу.

— Не знаю.

Проѣхали мимо нѣсколькихъ домовъ. Изъ оконъ глядятъ мужчины и женщины; ребята, никогда не видавшіе управляющаго, бѣжали за санями. На улицу изъ заднихъ домовъ то и дѣло выходили мужчины и стали у переулка, выходящаго изъ Козьяго Болота къ мосту.

Управляющій велѣлъ кучеру остановиться, вылѣзъ изъ саней, вошелъ во дворъ, потомъ полѣзъ по лѣсенкѣ на крыльцо—ступеньки трещатъ. Онъ никогда не бывалъ въ такихъ конурахъ. Въ сѣняхъ онъ заблудился. Вышла баба въ рубахѣ, отъ нея пахло пôтомъ; въ избѣ кричали ребята, ревѣлъ ребенокъ.

— Осподи Исусе?—вскрикнула баба, столкнувшись съ управляющимъ.—Кто тутъ?

— Я!

— Да кто ты? Свинья! Приказей!.. Ково тебѣ?

— Я управляющій!

Баба ушла въ избу и заперла дверь на крючокъ. У воротъ галдѣлъ народъ.

— Чья баба? — спросилъ управляющій, глядя на одного рабочаго.

Рабочіе молчатъ; имъ что-то сказать хочется, толкаютъ другъ друга, переминаются съ ноги на ногу, то снимаютъ, то надѣваютъ фуражки.

— Кто вы такіе?

Рабочіе сняли фуражки, но промолчали: они съ удивленіемъ смотрѣли другъ на друга.

— На работы!

— Провьянтъ выдай за два мѣсяца!

— Рощетъ вели сдѣлать!

— Кто виноватъ?—спросилъ управляющій.

— Приказчикъ Переплетчиковъ.

Управляющій сѣлъ въ сани и уѣхалъ, а рабочіе повалили во дворъ той бабы, у которой былъ управляющій.

— Къ почтмейстеру!—сказалъ онъ кучеру. Въ почтовой конторѣ кучеру сказали, что почтмейстеръ ушелъ бѣлокъ стрѣлять. Велѣно было явиться вечеромъ; а до этого времени всѣ въ заводѣ были въ волненіи: никто не понималъ, зачѣмъ управляющій ѣздилъ въ Козье Болото.

Явился вечеромъ почтмейстеръ. Это былъ старый человѣкъ, ужасный трусъ. Онъ никогда не бывалъ у управляющаго, потому что управляющій считалъ его ни за что.

— Кто здѣсь получаетъ періодическіе журналы?

Почтмейстеръ выпучилъ глаза.

— Я спрашиваю: кто получаетъ,—однимъ словомъ, кто слѣдитъ за литературой?

— Прикажете вѣдомостичку?

— Да вы сумасшедшій или не понимаете меня?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Читаете вы газеты?!

— Вѣдомости?.. Никакъ нѣтъ-съ. Не люблю-съ.

— Я васъ прошу молчать, если васъ будутъ спрашивать о волѣ; всѣмъ говорите: никакой воли никому не будетъ,—*понимаете?*

Почтмейстеръ ушелъ, удивленный и сконфуженный. Пошелъ къ приказчику, разсказалъ, какъ его распушилъ управляющій; приказчикъ хохоталъ.

— Дуракъ ты, а не почтмейстеръ, право! Ты, братъ, большой бы доходъ могъ извлечь изъ того, что̀ теперь всѣхъ занимаетъ.

— Што такое?

— Ну, ужъ не скажу. А у тебя есть ли овесъ да сѣно? Нѣтъ, такъ пошли почтальона.

Почтмейстеръ опять-таки остался въ недоумѣніи. По приходѣ домой онъ перебралъ губернскія и сенатскія вѣдомости, чего-то отыскивая; но такъ какъ онъ ихъ не читалъ и не зналъ, что ему нужно, то и потерялъ даромъ время.

Въ тотъ же день приказчикъ былъ позванъ къ управляющему.

— Вы слышали что-нибудь о волѣ?

— О какой-съ?—спросилъ съ удивленіемъ приказчикъ.

— Я отъ владѣльцевъ имѣю письмо: они нарочно по этому дѣлу въ Петербургъ изъ-за границы пріѣхали, зовутъ меня къ себѣ, просятъ какъ можно лучше соблюсти ихніе интересы. Пожалуйста вы побезпокойтесь...: У васъ большіе безпорядки: всѣ жалуются на невыдачу провьянта... Выдать! хоть какъ бы ни дорога была мука,—купить! Рабочихъ заставить силой работать. Слышите?

Ночью сгорѣлъ большой хлѣбный магазинъ; рабочіе работали на пожарѣ, но зато всѣ воспользовались хлѣбомъ и черезъ день пошли на работы.

Однажды въ одномъ кабакѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ рабочихъ, калякали они между выпивкой водки. Входитъ солдатъ.

— А сѣра амуниція!—сказалъ одинъ рабочій.

— Ты не замай моей амбиціи, кайло,—отвѣтилъ солдатъ.

— Чево и говорить: много ли ты галокъ-то настрѣлялъ?

— Почище вашего брата: на турка ходилъ.

— А видѣлъ ли ты, каковъ турокъ-то?

— Одначе, братцы, угостите водочкой.

— И такъ будетъ съ тебя.

— Не буянь! я царю служу; служба трудная. А ваше дѣло што?.. А еще волю хочутъ дать вахлакамъ.

— Какую волю?

— Царь вамъ волю даетъ.

— Што онъ сказалъ?—съ изумленіемъ обратился одинъ изъ рабочихъ къ другимъ собесѣдникамъ.

— Это онъ, вишь ты, на шарамыжку (на даровщинку) выпить захотѣлъ.

— Да вѣрите мнѣ или нѣтъ? Я восьмой годъ вѣрой и правдой царю служу. У меня у самого братья крѣпостные крестьяне; что жъ мнѣ баламутить-то васъ?

— Угостить ево надо!

— Ну-ко, скажи, какую такую волю хочетъ намъ царь дать?

Вошелъ другой солдатъ.

— Да вправду ли говоритъ онъ о волѣ? Вотъ другой солдатъ... Эй, другъ сердешной, тараканъ запешной, што ты скажешь о волѣ?

— Не слыхалъ што ли?

— Такъ это вѣрно?

— Про волю-то? Самъ царь, толкуютъ, крѣпостнымъ крестьянамъ даетъ...

Рабочіе слушали съ удивленіемъ, но не понимали, за что воля и въ чемъ состоитъ эта воля. Просили растолковать солдатъ, но они говорили, что въ городѣ объ этомъ разно толкуютъ. Такъ ничего и не довѣдались наши таракановцы; но чуяли они, что будетъ что-то доброе.

Первую ночь въ слободахъ спали только ребята; большіе судили и думали: что это за воля, посмотрѣть бы на нее, али ужъ нѣтъ ли указа такого?

— Какая же это воля: али напишутъ билетъ и потурятъ насъ отсюда на другую землю што ли?

— Ужъ не хотятъ ли заводы уничтожить?

— Нѣтъ, вотъ такую бы волю: и землю бы намъ, и покосы подарили бы, и за работу бы ладно считали, да не обижали. Хошь робь, хошь нѣтъ.

— Нѣтъ, я смекаю не для того ли это солдаты толкуютъ, штобы задрать насъ на драку съ ними? Имъ, вишь ты, скушно... Надо предупредить товарищей-то.

Черезъ недѣлю пришелъ на заводъ рабочій, бывшій въ городѣ. Онъ клялся, что въ городѣ даже объявленья прибиты на столбахъ, написано: скоро воля будетъ.

Опять заговорили, опять полѣзли въ головы предположенія различныя, то хорошія, то худыя; и эти предположенія совсѣмъ сбили съ толку рабочихъ. Они сдѣлались задумчивы, мало пѣли, руки опускались. Нѣкоторые рабочіе вовсе не шли на работы; но за ними не приходили десятники, и только по обыкновенію на нихъ насчитывали прогулы. Всѣхъ удивляло поведеніе начальства: оно было теперь смирное, а штейгера, родня нѣкоторыхъ рабочихъ, несмотря на запрещеніе приказчика говорить рабочимъ о волѣ, говорили имъ: —подождемъ, братцы, воля скоро будетъ, порядки у насъ иные пойдутъ.

XVI.

Читатели уже знаютъ, что дѣти работали на рудникахъ, и хотя эти работы и считались по-заводски легкими, но для крестьянскаго мальчика онѣ были бы очень тяжелы, потому что крестьянскіе мальчики не испытываютъ того, что испытываютъ дѣти горнорабочихъ: работать на рудникахъ много значитъ; тасканіе тачекъ съ глиной и рудой въ шахтѣ, гдѣ темно, душно, сыро и приходится пробыть десять или восемь часовъ,—невыносимо и для взрослаго. Мальчики съ двѣнадцати-лѣтняго возраста назывались малолѣтними и брались на работы тогда, когда недоставало подростковъ; за это они получали полтора пуда въ мѣсяцъ провіанту. Съ 15-ти лѣтняго возраста они назывались подростками, и ихъ брали на работу уже безъ отцовъ и обращались, какъ съ обыкновенными рабочими; за это они получали въ мѣсяцъ два пуда провіанту. Заводоуправленію съ одной стороны было выгодно заставлять работать ребятъ, потому что они работаютъ старательнѣе взрослыхъ рабочихъ; но съ другой стороны было и убыточно, потому что, чѣмъ больше у рабочихъ ребятъ мужского пола, тѣмъ больше выходитъ на нихъ муки.

При отцѣ Илья Игнатьичъ рѣдко работалъ на рудникахъ. По метрическому свидѣтельству онъ значился пятнадцати, по-заводски шестнадцати лѣтъ, такъ какъ ему наступилъ уже шестнадцатый годъ; его забыли въ прошломъ году записать въ подростки и назвали этимъ именемъ только нынѣ. Илья Игнатьичъ очень боялся, чтобы его не послали въ рудникъ: малолѣтки работаютъ на поверхности рудниковъ, но подростки непремѣнно въ шахтахъ, и этого избѣгнуть нельзя, если попадешь на рудникъ. Рабочіе на рудникахъ распредѣлялись безалаберно; тамъ на болѣзни не обращали вниманія, а исполнялись приказанія приказчика, чтобы вездѣ былъ полный комплектъ рабочихъ. А мальчикъ, работая въ сыромъ мѣстѣ, слабосильный, не могъ при всемъ своемъ стараніи сработать столько, сколько могли сработать взрослые, окрѣпшіе рабочіе, и поэтому по метрическимъ книгамъ таракановскихъ церквей и вѣдомостямъ доктора значилось, что большинство умершихъ и больныхъ въ заводѣ состояло изъ ребятъ отъ 11 до 19 лѣтъ. Но ни на болѣзнь, ни на смертность ихъ заводскимъ начальствомъ не обращалось должнаго вниманія, потому вѣроятно, что семь тысячъ заводскихъ женщинъ исправно рожали каждый годъ по ребенку; но зато въ послѣднее время стали замѣчать, что изъ каждой тысячи ребятъ умираетъ если не половина, то по крайней мѣрѣ двѣ трети, не доживъ до совершеннолѣтія.

Ростя почти подъ присмотромъ маленькихъ ребятъ, дѣти, еще очень маленькія, выражали свои желанія и досаду крикомъ, капризничали и привыкали къ разнаго рода побоямъ и наказаніямъ. Колотушки и ругань съ годами вмѣстѣ съ физической силой развивались въ нихъ. Они жили въ кругу такихъ людей, которые довольно грубо обращались со всѣми, не умѣли изъясняться такъ, какъ изъясняются образованные люди; отъ этого и дѣти, подражая старшимъ, становясь съ каждымъ мѣсяцемъ, а можетъ быть и днемъ, воспріимчивѣе, усвоивали то, что видѣли и слышали. Такъ и Илья Игнатьичъ въ настоящее время курилъ табакъ, пилъ водку, ругался, какъ большой, и старался во что бы то ни стало переспорить старшихъ. Дома онъ жилъ рѣдко, а больше игралъ въ бабки, дрался съ ребятами; не боялся матери, мало слушался и отца, однако побаивался его и не смѣлъ ничего сказать ему рѣзкаго, хотя бы тотъ задѣлъ его за живое. Кромѣ отца онъ никого такъ не любилъ въ жизни и только ему одному высказывалъ свое горе и только его совѣтовъ слушался. Это происходило оттого, что отецъ работалъ, добывалъ пропитаніе, былъ глава въ домѣ, гдѣ его всѣ боялись и уважали. Привязанность его къ отцу была такова, что онъ скучалъ, когда отецъ долго не приходилъ домой, а когда тотъ возвращался, онъ долго терся около него, выспрашивалъ что-нибудь и немедленно исполнялъ его приказанія. Сестру онъ не любилъ, потому что она была не парень и не любила играть съ нимъ въ бабки или бороться.

Послѣ смерти отца онъ жилъ съ сестрой, а потомъ у дяди вмѣстѣ съ братомъ, и когда его взяли

на фабрику на работы, онъ дома жилъ только по ночамъ, а въ праздники убѣгалъ къ сосѣдямъ или участвовалъ въ артельныхъ играхъ, заключавшихся въ томъ, что друзья, человѣкъ въ тридцать, играли отдѣльно отъ другихъ, и въ эту артель парень изъ чужой артели не принимался до поры до времени. Павелъ тоже бѣгалъ за нимъ, но когда оттуда стали его гнать, онъ присталъ къ ребятамъ однихъ съ нимъ лѣтъ.

Поработавъ на фабрикѣ мѣсяца четыре, Илья Игнатьичъ рѣдко ночевалъ дома; но тетка знала, что онъ терся у засыпщика Горюнова, который былъ помощникомъ плавильщика на горнахъ. У него было два сына, Егоръ 17 лѣтъ и Иванъ 12, и дочь Аксинья 15 лѣтъ. Жена его умерла отъ горячки назадъ тому три года, и теперь хозяйствомъ Горюнова заправляла его сестра, Акулина Савинова. Илья попалъ въ это семейство очень просто: Егоръ работалъ около отца вмѣстѣ съ нимъ. Илья, куря табакъ изъ отцовской трубки, всегда угощалъ Горюновыхъ, которые съ своей стороны угощали и подростка Глумова. Въ праздники Глумовъ игралъ съ Егоромъ Горюновымъ, съ нимъ же забѣгалъ къ нему въ домъ и тамъ игралъ съ Аксиньей и сыновьями Горюнова въ карты, а ежели было поздно, то тамъ и ночевалъ, боясь проспать время работы, а потомъ вмѣстѣ съ Горюновыми отправлялся на работу.

Часто они играли въ карты, въ носки, а такъ какъ интересъ этой игры заключался въ томъ, чтобы проигравшему щелкать колодой картъ по носу, то безъ сценъ не обходилось: братъ брату щелкали носы безъ всякаго удовольствія, но когда Аксинья принималась щелкать по носу Илью Игнатьича, ему не нравилось; братья хохотали, хохотала Аксинья, онъ толкалъ ее ногами, краснѣлъ со стыда, мигалъ ей глазами, но она наслаждалась щелканіемъ Илькина носа, хохотала и выдавала братьямъ его подмигиванья; за Глумова братья не заступались. Если же Глумову приводилось щелкать носъ Аксиньѣ, то она щипала его за руку, ругала проклятымъ, краснѣла, косила глаза; Глумовъ прилагалъ все свое стараніе, чтобы Аксиньѣ было больнѣе, но Аксинья убѣгала въ уголъ или куда-нибудь, дулась на Илью и говорила: «я тебя тихонько, а ты, лѣшакъ, изо всей мочи». Братья не говорили Аксиньѣ, что она не права, но если Илья Игнатьичъ силой хотѣлъ исполнить полное количество щелчковъ, то который-нибудь изъ братьевъ начиналъ барахтаться съ Глумовымъ.

Но, несмотря на эти размолвки, Илью Игнатьича приглашалъ даже самъ Дмитрій Гурьянычъ Горюновъ. Приглашалъ онъ потому къ себѣ Глумова, что у Глумова не было отца, а спать у Горюнова было гдѣ—мѣста довольно.

Время для Ильи Игнатьича шло весело,—на фабрикѣ народу много, работа не тяжелая: онъ помогалъ рабочимъ подвозить къ горнамъ въ тачкахъ или руду, или флюсъ, т. е. песокъ и уголь, или просто песокъ или уголь, и поэтому назывался *таскальщикомъ*. Эта работа продолжалась не долго; остальное время онъ терся около рабочихъ, мѣшалъ имъ, острилъ и получалъ колотушки отъ мастеровъ; потомъ, если у его пріятеля была получка, пріятель приглашалъ его въ кабакъ, если же не было, то онъ отправлялся спать. А о праздникахъ и говорить нечего.

Передъ масляницей Илья пришелъ къ Горюновымъ въ обѣдъ, когда ему нечего было дѣлать на фабрикѣ. Онъ самъ не зналъ, зачѣмъ онъ идетъ туда, гдѣ теперь только Аксинья и ея тетка, а можетъ быть и никого нѣтъ. Ему хотѣлось поболтать и поиграть въ карты съ Аксиньей, а если тетка дома, онъ выдумалъ предлогъ попросить шила. Оказалось, что дома только одна Аксинька, какъ узналъ объ этомъ Глумовъ, заглянувъ въ окно. Аксинья его не видала, какъ онъ глядѣлъ. У Горюновыхъ была изба и горенка; Аксинья мыла въ горенкѣ. Илья крадучись подошелъ къ двери горенки и вскрикнулъ: «кукареку!».

Аксинья вскрикнула, выпрямилась, поправила рубаху, полы которой были заткнуты за поясъ; лицо ея отъ работы было красное, въ поту.

— Куда ты идешь, сиволапой! — крикнула Аксинья.

Илья Игнатьичъ улыбался и толкнулъ ногой шайку, изъ которой Аксинья бросила въ Глумова мочальную вѣхотку; вѣхотка попала ему сперва въ лицо, потомъ упала на полъ. Вмигъ Илья Игнатьичъ подскочилъ къ Аксиньѣ и сталъ ее щекотать. Та завизжала, захохотала, забилась и укусила плечо Глумова.

— Што? каково?.. — хохотала Аксинья, когда Глумовъ схватился за плечо.

— Свинья!

— Отъ свиньи слышу. Зачѣмъ пришелъ? Пошелъ, дуракъ... — и Аксинья стала толкать его грязными руками изъ избы; но тотъ упирался.

— Тетка придетъ, задастъ тебѣ! Вонъ, вонъ!— и она вытолкала его изъ избы вѣникомъ.

Илья Игнатьичъ долго еще дурилъ у окошекъ, пока его не прогнала возвратившаяся домой тетка Аксиньи.

XVII.

Послѣ масляницы Илью Игнатьича цѣлую недѣлю не звали на фабрику: тамъ нечего было дѣлать подросткамъ. Мастера поговаривали, что скоро ребятъ пошлютъ на рудники. Жить у дяди было скучно, вотъ онъ и терся у Горюновыхъ. Вдругъ приходитъ утромъ десятникъ Филатовъ и говоритъ ребятамъ:

— Одѣвайтесь, живо! на рудникъ!

Ребята поблѣднѣли; ослушаться нельзя.

— А кто тебя послалъ?—спросилъ Глумовъ.

— Указъ отъ приказчика вышелъ послать пятьдесятъ подростковъ да двадцать малолѣтковъ.

— Такъ ты и отпиши: не пойдемъ.

— Я тебѣ дамъ «не пойдемъ»! Ты знаешь—я тебя такъ вздеру, што мое почтеніе!

Десятникъ имѣлъ власть наказывать ребятъ розгами; поэтому надо было повиноваться. Ребята одѣлись, лѣниво пошли къ вѣсамъ, а Филатовъ пошелъ за другими. У вѣсовъ, у кузницы, боролось ребятъ тридцать. Всѣ они худенькіе, блѣдные; на нихъ изорванные отцовскіе полушубки или халатишки; у не-

многихъ есть на рукахъ варежки, а у остальныхъ руки голыя.

— Господа, буде въ шахты будутъ назначать, не пойдемъ, закономъ запрещено,—говорилъ восемнадцатилѣтній парень, учившійся въ городскомъ уѣздномъ училищѣ и жившій у повѣреннаго на посылкахъ, но теперь посланный въ рудники за кражу ложекъ у повѣреннаго. Ребятами за слово *господа* онъ былъ прозванъ пуговицей, что̀ ему очень не нравилось.

— А ты, пуговица, отъ кого это узналъ?

— Знаю. Строго запрещено. Мы на землѣ должны работать, а не въ землѣ.

— Ладно! пропишутъ тебѣ землю.

Поѣхали. Дорогу описывать нечего. Не мѣшаетъ только сказать, что въ дорогѣ было очень холодно; ребята то молчали, то смѣялись другъ надъ другомъ, то боролись. Бывши въ шахтахъ немного, они то и дѣло пугали небывавшихъ тѣмъ, что тамъ нужно ползать на колѣняхъ съ тачкой, да того и гляди, что задавитъ.

Къ руднику пріѣхали вечеромъ; солнышка не было, и такъ какъ здѣсь большое поле, то вѣтеръ съ правой стороны дулъ сильный, холодный, гоня собою снѣгъ на насыпи и вертя его такъ ловко, что ребята говорили: «глядите, какъ чортъ-то вертится!». Рабочіе и ребята медленно катали тачки; а вѣтеръ то и дѣло заплеталъ ребятамъ длинные халатишки или у рабочихъ распахивалъ ихъ очень широко. Въ трехъ мѣстахъ у насыпей разложены огни, около которыхъ грѣются запачканные въ глинѣ ребята, а большіе покуриваютъ изъ трубокъ махорку и разговариваютъ о сегодняшнемъ рабочемъ днѣ.

Ребята вошли въ избу. Шесть человѣкъ рабочихъ сидятъ на полатяхъ, пять подростковъ играютъ въ карты, принадлежащія сторожу избы. Сторожъ получаетъ карты отъ ребятъ. Игравшіе ребята многимъ изъ пріѣхавшихъ были знакомы.

Отогрѣлись ребята немного въ избѣ, ѣсть хочется, а нечего, потому что немногіе взяли изъ домовъ хлѣба, да и тотъ дорогой товарищи съѣли. Въ избу стало появляться больше и больше рабочихъ и ребятъ, которые, входя, кряхтѣли или что-нибудь говорили въ родѣ: «Ну-жъ погодку Богъ далъ!». Настала пора ужина; жена сторожа, Прасковья, занимавшаяся печеньемъ хлѣба и варкой щей на рабочихъ, засуетилась. Принесла она изъ сѣней пять ковригъ хлѣба. Ее торопили. Вытащила она изъ печи чугунъ щей, двое рабочихъ налили изъ него въ большую деревянную чашку, поставили ее на нары противъ оконъ, притащили со двора скамейку, и человѣкъ двадцать рабочихъ усѣлось на нее. Хлебать было неудобно, потому что приходилось вставать, а ребята то и дѣло толкали котораго-нибудь рабочаго. На другихъ нарахъ тоже ужинали. Въ избѣ говоръ, смѣхъ, визгъ.

Послѣ ужина рабочіе и ребята, работавшіе днемъ, легли спать, а пріѣхавшихъ нарядчикъ распредѣлилъ на работы въ шахты. Ночью на поверхности руду не отвозили, потому что начальство боялось, чтобы рабочіе не отвозили ее въ какое-нибудь мѣсто, неизвѣстное для него, а потомъ домой. Но такое опасеніе было напрасно: рабочій не много бы выплавилъ въ избеной печи. Всѣ пріѣхавшіе подростки и малолѣтки попали въ шахты. Глумовъ и еще трое были спущены въ одну шахту. Читатели уже знакомы съ рудничными работами. Поэтому я отъ имени Ильи Игнатьича Глумова скажу, что ему показалась ужасно невыносимо-тяжелой эта работа: онъ точно ослѣпъ, оглохъ, ползаетъ на колѣняхъ, толкая грудью ручку отъ тачки, голова то и дѣло стукается въ землю, ноги и все туловище до груди промокло, потому что дно шахты неровное, грязное, съ ямами, а досокъ, поставленныхъ на днѣ, въ темнотѣ не сыщешь. Не помнитъ онъ, какъ упалъ куда-то, завязъ; кажется, заснулъ; кажется, такъ дремалъ... «Што жъ это такое? Долго ли еще я пророблю»... Пошелъ. Наткнулся на кого-то.

— Кто?—хриплымъ голосомъ спросилъ кто-то.

— Я,—сказалъ Глумовъ, но голосъ точно отнялся. Натужился Илья Игнатьичъ, крикнулъ... немного слышнѣе откликнулось гдѣ-то: онъ стоялъ противъ корридора, въ которомъ былъ ходъ къ верху.

Проработалъ онъ четыре дня и хотя спалъ по ночамъ въ избѣ, но въ послѣдній день до того изнемогъ, что не могъ катить тачки. Проситься домой невозможно: нужно проработать недѣлю, и онъ надумалъ бѣжать, но не осмыслилъ — куда. Когда ночью рабочіе спали крѣпко, онъ взялъ мѣшочекъ съ хлѣбомъ и солью, принадлежащій какому-то рабочему, и, вытащивъ изъ-подъ головы рабочаго полушубокъ, надѣлъ этотъ полушубокъ на себя и съ замираніемъ сердца вышелъ на дворъ. Куда идти? Темно, звѣзды свѣтятъ тускло: вѣтеръ рѣжетъ лицо. Горько заплакалъ Илья Игнатьичъ и, плача, пошелъ въ сторону, противоположную отъ рѣки. Страшно ему сдѣлалось, хотѣлось воротиться; но вдругъ на него напала злость: онъ пошелъ скорѣе, сжималъ кулаки, проклиналъ громко и снѣгъ, и полушубокъ. Но не все же злиться, а надо убираться поскорѣе куда-нибудь: вотъ рабочіе тоже по ночамъ убѣгаютъ и не разыскиваются. Ноги то вязнутъ въ снѣгу, то онъ спотыкается о что-то и падаетъ. Наконецъ—дорога; онъ повернулъ налѣво, стало легче. Ноги давно устали, наконецъ, заболѣли кости, потомъ не можетъ ступать на подошвы. Сѣлъ онъ и сталъ ѣсть, думая, что онъ не хорошо сдѣлалъ, что убѣжалъ. Что скажутъ товарищи, которые наравнѣ съ нимъ работаютъ и не бѣгаютъ? Задумался онъ надъ этимъ, и стыдно ему сдѣлалось. Драть станутъ, больно выстегаютъ; товарищи сердиться будутъ. Всталъ онъ, хотѣлъ идти назадъ, но ноги перестали служить, свалился онъ на снѣгъ и не можетъ встать, а уже свѣтать начинаетъ.

Вдругъ онъ отъ боли просыпается. Передъ нимъ на двухъ лошадяхъ верхомъ сидятъ лѣсные объѣздчики.

— Вставай, околѣешь!—сказалъ одинъ изъ нихъ и слѣзъ съ лошади.

Илья всталъ.

— Чей ты?

— Я съ рудника.

— А! Бѣглецъ!!.

— Пусти его; плевать!

— Ишь ты! три цѣлковыхъ за него выдадутъ.

— Дядюшка, отпусти,—заплакалъ Глумовъ.

— Не разговаривай!

— Я самъ уйду.

Лѣсные объѣздчики, сказавъ: «плевать, нашъ вѣдь онъ», уѣхали.

Еще стыднѣе сдѣлалось Ильѣ Игнатьичу; на рудникъ онъ идти боится, а дѣлать нечего.

Пришелъ Глумовъ на рудникъ. Рабочіе обругали его дуракомъ за то, что онъ пришелъ назадъ; ребята прозвали его воромъ и бѣглецомъ. Пошелъ онъ въ избушку къ нарядчику. Нарядчикъ еще не зналъ объ его бѣгствѣ.

— Прости меня, Максимъ Пантелеичъ,—сказалъ Глумовъ поклонившись ему въ ноги.

— Што, укралъ?

— Я, Максимъ Пантелеичъ, больно нездоровъ; лѣшій меня взялъ: побѣгъ ночью...

— Ахъ ты, мерзавецъ, да я тебя вздую!

— Прости! не буду...

— Ну, ступай; гдѣ робишь?

— Въ шахтѣ.

— Ступай къ конной машинѣ! Позови Сеньку Безрылова.

Рабочіе удивились милосердію нарядчика, который любилъ, чтобы тотчасъ послѣ проступка у него слезно просили прощенія. Только благодаря этому, Глумовъ отдѣлался такъ дешево.

XVIII.

Возвращаясь къ исторіи таракановскаго завода и къ печальной судьбѣ Прасковьи Игнатьевны, я напомню читателю, что онъ разстался съ моей бѣдной и темной героиней въ холодномъ и всѣми покинутомъ домѣ Глумовыхъ, у мертваго тѣла ея матери и у могилы ея мужа. «Все прахомъ пошло!» думала Прасковья Игнатьевна, заливаясь слезами. Но чѣмъ больше она думала о своемъ прошломъ, тѣмъ неотвязчивѣе представлялся ей пьяный, избитый или лежащій въ гробу съ страшно измѣнившимся лицомъ мужъ. Сердце ея обливалось кровью: она старалась ни о чемъ не думать, но Курносовъ какъ тутъ—какъ только она закроетъ глаза; откроетъ глаза, ей какъ будто слышится слова пьянаго мужа: «не тужи, Паруша! обѣщали».—«Черную немочь!» скажетъ съ сердцемъ и шепотомъ Прасковья Игнатьевна и опять задумается о прошломъ. «И что это за жизнь была! и дернуло же меня выйти за приказнаго. Правда, хорошо было подчасъ, больно хорошо»... и опять обливалось сердце кровью, и она думала о настоящемъ. «Что мнѣ тутъ дѣлать, гдѣ голову преклонить?» размышляла Прасковья Игнатьевна и стала серьезно раздумывать о переселеніи въ городъ.

Разсказы о городской жизни подбивали ее еще больше переселиться изъ Таракановскаго завода. «Не даромъ же Танька Крыжанова ушла въ городъ еще до моей свадьбы и не возвращается домой, а вонъ еще слѣпой матери къ Пасхѣ три цѣлковыхъ послала; не даромъ вонъ и Кудряшова двоихъ дѣвокъ къ себѣ выписала». И Прасковья Игнатьевна стала засыпать и просыпаться съ одной мыслью—о поѣздкѣ въ городъ. «Тамъ меня никто не будетъ грызть».

На другой день она спросила дядю:

— Ты скоро въ городъ-то поѣдешь?

— Да къ Егорьеву дню надо бы. А што?

— Ты меня свезешь?

Тимофей Петровичъ захохоталъ.

— Чему ты смѣешься? Эка невидаль какая! Не держать же намъ ее,—сказала тетка, видимо тяготившаяся Прасковьей Игнатьевной, которая въ послѣднее время жила у родныхъ.

Вечеромъ Дарья Викентьевна стала отговаривать Прасковью Игнатьевну, чтобы она не ѣхала, что въ городѣ она наплачется и будетъ каяться, что ушла изъ завода, но Прасковья Игнатьевна и слушать не хотѣла.

Стала она собираться въ дорогу. Братья повидимому скучали, Дарья Викентьевна пуще прежняго злилась, но Прасковья Игнатьевна стояла на своемъ, уже четыре раза ходила въ главную контору за полученіемъ билета на жительство внѣ завода, даже продала одежонку Петра Савича за два рубля и эти деньги дала столоначальнику. Посовѣтовали сходить къ приказчику. Пришла, пожаловалась на главную контору.

— Я, душа моя, главной конторой не завѣдываю и въ ея дѣла не имѣю права вмѣшиваться... А тебѣ что за фантазія пришла идти въ городъ?

— Хочу.

Постоявши немного и посмотрѣвши на Прасковью Игнатьевну нѣсколько минутъ, приказчикъ вдругъ сказалъ:

— Иди за мной.

Ни жива, ни мертва пошла молодая женщина за приказчикомъ. Приказчикъ вошелъ въ гостиную и сѣлъ въ кресло.

Прасковья Игнатьевна остановилась въ дверяхъ.

— Ты женщина красивая. Хочешь, я тебя къ себѣ пристрою?

— Покорно благодарю, Афиногенъ Степанычъ.

— Нѣтъ, однако. Ты будешь жить барыней, дѣла тебѣ будетъ немного. Чай Курносовъ-то шишъ тебѣ оставилъ?

— Нѣтъ, ужъ вы увольте меня.. въ городъ хочу.

— Какъ знаешь. А знаешь, что я могу тебя и не отпустить и не отпущу, коли захочу, единственно изъ-за твоего каприза. Вечеромъ я пошлю за тобой лошадь съ кучеромъ.

— Афиногенъ Степанычъ...

— Я, тебя же жалѣючи, говорю это, потому что въ городѣ вашего брата, какъ безпріютныхъ собакъ... А я человѣкъ вдовый. Знаю я, что ты женщина честная; знаю и то, что ты не солоно хлебала замужемъ. А я могу тебя озолотить.

Прасковья Игнатьевна плакала.

Вдругъ лакей приноситъ приказчику бумагу. Прочитавши бумагу, приказчикъ поблѣдѣлъ, но немного оправился.

— Такъ вечеромъ, Прасковья Игнатьевна, я за тобой пришлю. Отговариваться нечего.

Прасковью Игнатьевну бросило въ потъ отъ такого предложенія. Она всю дорогу плакала, такъ что всѣ, кто попадался ей на встрѣчу, съ удивленіемъ спрашивали ее, что съ ней, но она ничего не могла отвѣтить и ушла къ Корчагину.

— Василій Васильичъ! спаси ты меня! — проговорила она, поклонившись ему въ ноги, и разсказала все, что̀ говорилъ ей приказчикъ.

— Не нужно было тебѣ къ приказчику ходить. Ужъ онъ извѣстенъ этимъ... Ты бы ко мнѣ раньше пришла, я бы устроилъ это дѣло.

Прасковья Игнатьевна осталась у Корчагина.

Между тѣмъ вдругъ по заводу пронеслась вѣсть о пріѣздѣ ревизора, — вѣсть, взволновавшая все таракановское населеніе. Казаки или полицейскіе служители то и дѣло переходили изъ дома въ домъ и звали свободныхъ отъ работъ рабочихъ къ главной конторѣ и грозили тѣмъ, что если кто не придетъ, того завтра же пошлютъ на работы за полтораста верстъ. Рабочіе идутъ нехотя, ругаются. Они не знаютъ, зачѣмъ ихъ зовутъ къ конторѣ,—да и подобныя сходки случались въ заводѣ нерѣдко.

Передъ конторой—длиннымъ одноэтажнымъ деревяннымъ домомъ въ девять оконъ на улицу—около воротъ, стояли, ходили и сидѣли на завалинкѣ конторскаго дома человѣкъ сто рабочихъ разныхъ лѣтъ въ халатахъ изъ зеленой китайки и армякахъ. Тутъ были старики, разсказывающіе окружавшимъ ихъ молодымъ рабочимъ про прежнихъ исправниковъ, смотрителей и управляющихъ; тутъ были люди, серьезно страдающіе чахоткой, гемороемъ и т. п. болѣзнями,—люди, желающіе опохмелиться, люди бойкіе, постоянно спорящіе, говорящіе, хохочущіе, которые цѣлый день могутъ проболтать безъ устали языкомъ. Къ нимъ приходили новыя кучи рабочихъ.

— Опоздали,—говорили имъ молодые рабочіе.

— Нѣтъ, не опоздали. А вы што тутъ, ково караулите?

— Тебя, штобъ ты къ Окулинѣ въ гости не ходилъ.

Въ толпѣ поднялся хохотъ.

Толки были разные; чѣмъ больше прибывало народу, тѣмъ больше говоръ усиливался, такъ что ничего нельзя было разобрать, кромѣ заливающагося хохота въ разныхъ мѣстахъ да восклицаній.

— Илюха! Будь ты проклята, хвастушка, и т. п.

Казалось, народъ былъ веселъ; но это только казалось. Рабочему человѣку если что кажется, то онъ крестится. Нельзя было тремъ стамъ рабочимъ стоять молча, къ тому же и люди все были знакомые.

— Што жъ, братцы, долго-ль намъ ждать-то? Я съ самаго утра пришелъ.

— Ну, и до вечера простоишь.

— Это вѣрно. Я онномедни къ исправнику пришелъ еще черти въ кулачки не дрались, а домой воротился ночью.

Въ толпѣ хохотъ.

— Братцы, глядите вверхъ,—крикнулъ кто-то громко.

Всѣ стали смотрѣть вверхъ. Полетѣли фуражки съ головъ, снова хохотъ, многіе стали бороться.

А между тѣмъ въ конторѣ происходило что-то необыкновенное: тамъ служащіе перебѣгали изъ комнаты въ комнату, сторожа и бабы мыли стекла въ окнахъ. Это заняло рабочихъ, и они стали острить надъ бабами.

Пріѣхалъ къ конторѣ исправникъ. Ему никто не снялъ шапки. Онъ кричалъ, чтобы ему дали проѣздъ, но рабочіе отъ нечего дѣлать рады были потѣшиться.

— Ну-ко проѣдь. Посмотримъ, какъ ты по намъ поѣдешь.

Исправникъ самъ ударилъ лошадь, которая рванулась впередъ и сняла одного рабочаго.

— Ужъ смѣяться, такъ было бы надъ кѣмъ, а это што!—сказалъ одинъ мастеръ.

— Хоть бы не ты говорилъ, да не мы слушали. Вотъ надъ тобой такъ стоитъ смѣяться. Вѣдь ты мастеръ, ну, а мастеръ — значитъ первый плутъ, сосвѣтный мошенникъ.

— А вы первые воры: кто желѣзо воруетъ?..

— Ты первой.

Народъ не стоялъ въ одномъ мѣстѣ, а бродилъ по площади, человѣкъ по десяти стояли по угламъ.

— Ѣдетъ?—кричали имъ со всѣхъ сторонъ.

— Штаны надѣваетъ, — кричали стоящіе на улицахъ.

Къ нимъ то и дѣло подходили женщины. Онѣ хотѣли дознаться сами, зачѣмъ мужиковъ къ конторѣ созвали.

— Куда ты лѣзешь, востроносая!

— Смотри, запряжетъ онъ тебя воду таскать.

Женщины ругались, мужчины ихъ гнали, и онѣ стояли отдѣльно отъ мужчинъ и разсуждали по-своему:

— Ужъ чего добраго, бабоньки, не волю ли хотятъ объявлять?

— Я то же смекаю... Сегодня во снѣ видѣла чистое поле да рѣку большую...

— Болтай, пустомеля. Совсѣмъ не волю, а поди опять наряды какіе-нибудь...

— Ну, ужъ дураки же будутъ мужики, если даромъ робить будутъ.

Ребята тоже стояли отдѣльно. Они то острили надъ бабами, то надъ мужиками, то боролись...

А дождь мочитъ и мочитъ незамѣтно.

Наконецъ въ первомъ часу показался изъ-за угла управляющій, ѣдущій въ пролеткѣ, запряженной въ двѣ сивыхъ лошади. Народъ сторонился, кое-кто изъ мужчинъ снялъ фуражки, бабы поклонились, а управляющій сдѣлалъ только разъ подъ козырекъ.

Управляющій вошелъ въ контору, а народъ столпился въ одну массу, только женщины стояли позади. Ребята забрались впередъ.

Вышли на крыльцо управляющій, приказчикъ и исправникъ. Исправникъ крикнулъ рабочимъ:

— Шапки долой!

Рабочіе лѣниво сняли фуражки и шапки, женщины перекрестились.

— Ребята, къ намъ ѣдетъ ревизоръ. Слышите!

Рабочіе поглядѣли другъ на друга; десять человѣкъ надѣли фуражки, за ними стали надѣвать и

другіе. Женщины стояли на носкахъ съ разинутыми ртами и рабски-боязливо смотрѣли изъ-за головъ мужчинъ на начальство.

— Вамъ сказано шапки долой!—крикнулъ исправникъ.

Въ толпѣ прошелъ неясный гулъ, начался шепотъ, толкотня подъ бока, молодые прятали свои головы за спины старыхъ рабочихъ.

— Я васъ всѣхъ перепорю! Сказано: шапки долой!

— Самъ скидывай со своей башки чучело-то,— сказалъ кто-то. Народъ заволновался, заговорилъ.

— Смирно!!

Народъ затихъ, а одинъ старикъ проговорилъ:

— Коли ты насъ, ваше благородіе, за дѣломъ звалъ, дѣло и говори. Мы—народъ рабочій, намъ время дорого. Мы, какъ бы то ни было, люди...

— Молчать!

— Нечего стращать-то.

Народъ захохоталъ; женщины, какъ видно, струсили и далеко отошли отъ мужчинъ.

— Слушайте,—началъ управляющій,—чтобы ни одна шельма не смѣла жаловаться ревизору, чтобы никто и пикнуть не смѣлъ. Когда онъ пріѣдетъ, вы соберитесь на площади и кричите: «ура»!

— Какой бойкій! да намъ и не выговорить такое слово, — проговорилъ кто-то негромко; прочіе толкали другъ друга въ бока, шептали что-то, хохотали.

— Понимаете, что я вамъ сказалъ?

— Не глухіе вѣдь,—сказалъ одинъ. Заговорили всѣ.

— Эй, кто грамотные! въ контору!—крикнулъ исправникъ, и начальство ушло въ контору.

Говоръ начался неописанный; на что женщины— и тѣ голосили больше всѣхъ.

— Эхъ, вы, еще мужики называетесь! Ну, гдѣ у васъ разсудокъ-то, у дураковъ?..

— Да я бы ему за его слова просто въ лицо наплевала. Ишь, говоритъ: «я васъ всѣхъ перепорю»; командеръ какой!

— Ну, ну, не ваше дѣло, широкоротыя!

— Стыдно, вѣрно. Погоди: ужо я буду тебя страмить.

— Вотъ, братцы, диво: у насъ ревизоръ-то былъ годовъ девять!—говорили старики.

— Да онъ вретъ: за какимъ дьяволомъ ревизору къ намъ ѣхать?

— Нѣтъ, тутъ должно быть штука: смѣнять вѣрно онъ управляющаго хочетъ.

— Хорошее бы дѣло сдѣлалъ.

— Эй, бабы! идите писать въ контору.

— Братцы, айда въ кабакъ!

— Подь ты къ лѣшимъ! Нѣтъ, вотъ онъ меня совсѣмъ смутилъ: зачѣмъ ревизоръ сюда ѣдетъ?

— Вѣрь ты имъ...

— Смотри, ребята, сколько грамотѣевъ-то идетъ—четверо!

Всѣ захохотали. Изъ трехъ сотъ человѣкъ рабочихъ писать не умѣли сто человѣкъ. Двое рабочихъ долго ловили одну молодую женщину и притащили ее къ исправнику.

— Вотъ тебѣ грамота!—сказали они.

— Што-жъ намъ, уходить?—спросили рабочіе исправника.

— Завтра извольте на Господскую улицу шлаку навозить, - сказалъ исправникъ.

— Рубь дашь за сутки?

— Бороды остричь, волосы подравнять, явиться, когда пріѣдетъ ревизоръ, не въ лохмотьяхъ...

— Толкуй еще: бабамъ обручи надѣвать, мужикамъ кургузки съ хвостиками (фраки) надѣть. Уменъ, братъ, ты, какъ попъ Семенъ, а тотъ, кто дѣлалъ тебя исправникомъ, еще вѣрно умнѣе тебя...—говорили въ толпѣ.

Рабочіе стали расходиться.

Между тѣмъ четверо грамотныхъ стояли въ прихожей у дверей и ждали, что-то будетъ. Они смотрѣли въ комнаты, гдѣ писцы, изогнулись на разныя манеры, строчили по бумагѣ перьями. Ихъ это смѣшило, и они о каждомъ судили по-своему вполголоса. Ихъ смѣшило то, какъ управляющій, важно сидя въ предсѣдательскомъ креслѣ, распекаетъ приказчика, потомъ столоначальника, который вдругъ поклонился ему въ ноги. Въ конторѣ писцы переговаривались тихо, только и слышенъ былъ пискливый голосъ управляющаго. Сторожа беззастѣнчиво подходили къ писцамъ, небрежно обращались съ ними; но писцы, какъ видно, хотѣли показать нашимъ грамотѣямъ, что они—люди не послѣдніе: они, заложивъ перья за уши, шаркая ногами, проходили мимо нихъ, курили папиросы въ прихожей, пуская дымъ въ форточку.

— Што, боязно курить-то?—сказалъ одинъ рабочій.

Писцы молчали.

— Ловко вѣрно онъ васъ покостылялъ... А вы скажите, зачѣмъ онъ насъ звалъ сюда?

— Адресъ подписывать.

— Какой?

— Не знаю.

Управляющій позвалъ рабочихъ въ присутствіе.

— Только?—спросилъ онъ сердито.

— Только, ваше благородіе; остальные еще склады учатъ.

— Подписывай вотъ тутъ свою фамилію.

Рабочій не шевелится.

— Что же ты?

— Да какъ же можно подписать, коли не знаешь суть. Можетъ, мы на свою голову подписываемъ.

Управляющій объяснилъ, что тутъ заключается благодарность ревизору за... и прочее.

— Не будемъ подписывать.

— Вотъ вамъ десять рублей, только подпишите и убирайтесь къ чорту.

— А што же, подпишемъ? Десять цѣлковыхъ деньги, ребята,—говорили двое шопотомъ.

— Не надо намъ и десяти рублей, — сказалъ третій и сталъ стыдить остальныхъ.

Управляющій приказалъ приказчику назначить рабочихъ сейчасъ же въ тяжелыя работы; рабочіе помялись и подписали бумагу, содержаніе которой имъ не дали прочитать.

Весело рабочіе погуляли этотъ день: всѣ завод-

скіе кабаки были полны. Рабочіе говорили, что день у нихъ по милости начальства пропалъ, и они разсудили закончить его пьянствомъ. Хозяева кабаковъ говорили:

— Хорошо бы было, если бы эти сходки у насъ чаще бывали.

Хозяева этихъ кабаковъ были преимущественно отставные мастера, которыхъ рабочіе не любили прежде за самосудство, а теперь помирились съ ними ради кабака.

— Што жъ, братцы, теперь дѣлать: бабы толкуютъ, ревизоръ намъ чистую волю хочетъ привезти.

— Ахъ ты, большая голова! Хорошъ рабочій, безмозглой бабы слушается.

— Нѣтъ, это вѣрно: даромъ ревизору ѣхать сюда—все равно што время терять.

— Ты бы лучше говорилъ: надо ему обсказать все, какъ слѣдуетъ; какіе теперича у насъ порядки—кто палку взялъ, тотъ и капралъ!

— Надо про все сказать.

— А до той поры робить не надо!

— Ты вотъ, какъ пьянъ, такъ боекъ, а коснись дѣло трезвому, такъ въ роту каша застынетъ. Дуракъ!

— И ты хорошъ, штейгеру служишь.

— Кто служитъ штейгеру?.. Гдѣ этотъ подлецъ?—закричали человѣкъ пять.

— Вотъ онъ!

Дѣло кончилось дракой. И не въ одномъ кабакѣ была драка. Мужчины далеко за полночь хороводились, а женщины суетились, сами не зная отъ чего. Не одна изъ нихъ перерывала въ сундукахъ свои вещи, пересмотрѣла подвѣнечное платье, вдѣла сережки въ уши, сбѣгала къ сосѣдкамъ покалякать о томъ, что̀ бы приличнѣе было надѣть, когда пріѣдетъ ревизоръ, и спорили между собой: сѣдой онъ или нѣтъ, высокій или низкій, толстый или тонкій, злой или добрый...

Многіе изъ рабочихъ сочиняли прошенія ревизору на управляющаго и приказчика, читали, переписывали, но выходило и не ладно, и не складно. Это женщинъ очень злило.

— Вы только на словахъ бойки!.. Вотъ и видно, что у васъ нѣту ни на грошъ ума-разума!—кричали онѣ:—а еще хорохоритесь.

Прошла недѣля. Начальство успокоилось. Оно ежедневно получало рапорты отъ повѣреннаго, что ревизоръ еще не тронулся; но рабочіе совсѣмъ измучились. Многіе изъ нихъ даже гривенныя свѣчи ставили, чтобы ревизоръ пріѣхалъ поскорѣе.

Пріѣздъ ревизора въ заводъ серьезно занялъ всѣхъ таракановцевъ. Дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ нихъ не видалъ нынѣшняго ревизора. И поэтому каждый, ожидая его, чувствовалъ какой-то страхъ. Почти каждый думалъ: «хорошо бы разсказать ему о худомъ житьишкѣ, вѣдь онъ большой человѣкъ и все можетъ сдѣлать. Не даромъ же его такъ боятся». У каждаго были знакомые и родные, живущіе въ другихъ заводахъ, и они разсказывали, что ревизоръ не кричитъ на рабочихъ, а начальниковъ распекаетъ бойко. Надеждъ у каждаго было много, каждый разговаривалъ только о немъ, и всякій изъ таракановскихъ жителей, не видѣвшій ревизора, уже хвалилъ его; женщины не давали покою мужчинамъ.

— Если вы, олухи царя небеснаго, будете смотрѣть на него да хлопать ушами, мы вамъ не жены.

— А вы прытки больно: сами и суньтесь къ нему!

Жены совсѣмъ сбили съ толку мужиковъ. Мужчины сдѣлались задумчивы, работа валилась изъ рукъ, дѣлалась нехотя; прекратились пѣсни, пьянство; въ домахъ воцарился разладъ: мужья сердились на женъ за всякую всячину, жены корили мужей безтолковостью, ревновали... Одни только ребята не обращали вниманія на пріѣздъ ревизора, а ждали, что вотъ и они узнаютъ, что̀ такое ревизоръ, о которомъ они, какъ и женщины, имѣли сказочное понятіе.

Наконецъ пріѣхалъ и ревизоръ. Первая объ этомъ узнала дѣвочка. Она разыскивала корову и мимоходомъ увидала около господскаго дома солдата. Хотя солдаты были и не рѣдкость въ заводѣ,—еще недавно таракановцы кормили двѣ роты,—но у господскаго дома раньше солдатъ не стояло, и потому дѣвочка подошла къ солдату довольно близко. Она полюбопытствовала.

— Не подходить!—крикнулъ на нее солдатъ.

Дѣвочка вздрогнула, но не пошла прочь. Солдату хотѣлось развлечься.

— Убью!—крикнулъ.

— Оо-ой! такъ вѣдь и испугалась!

— Тебѣ говорятъ, уйди! По тротуарамъ не велѣно ходить... Самъ здѣсь.

— Ой, да што это!..

— Пошла! ты думаешь, я калякать съ тобою стану! Ревизоръ здѣсь!—и онъ такъ толкнулъ дѣвочку, что она два раза перевернулась около тротуара.

У кабака стояли двадцать семь рабочихъ. Въ самомъ кабакѣ тѣсно; тамъ пѣсни и пляски.

— Семенъ, дай на косушку.

— Нѣту, братецъ, у самово. Голова во какъ болитъ! Э...

— А штобъ этого левизора!.. Ничего не сдѣлаешь.

— Толкуй! приказчикъ што говорилъ: всѣмъ быть на работахъ, бочку вина обѣщалъ.

— Кабы теперь эта бочка!

Подходитъ казакъ.

— Ахъ вы, штобъ вамъ всѣмъ лопнуть!.. На работу! Левизоръ пріѣхалъ.

Рабочіе съ испугомъ обзирали казака, но немного погодя пошли на фабрики.

Бабы то и дѣло бѣжали куда-то, но скрытничали другъ передъ дружкой.

— Ты куда?

— Ой, не говори, некогда.

— Да ты видѣла?

— Видѣла. Ружье у него—о!

Подбѣгали они къ тому мѣсту, гдѣ кончается улица и начинается площадь. Съ этого мѣста видно было господскій домъ. Дальше онѣ боялись идти.

— Дѣвонька... это левизія?—спрашивала баба свою сосѣдку, указывая рукой на солдата.

— Ишь солдатъ. Онъ ево стережетъ.

— А што жъ онъ убѣжитъ разѣ?

— Толкуй! Коли левизоровъ стерегутъ... такъ што послѣ эвтова съ намъ-то?..

— Дура ты, дѣвонька. Солдаты баяли, што они потому тамъ торчатъ, штобы не украли. А ты разсуди: наши мужики разѣ понимаютъ што? возьмутъ, да и утащатъ.

— Гляньте: онъ сюда смотритъ.

И бабы шли назадъ и толковали между собой, только Богъ одинъ вѣдаетъ о чемъ. Онѣ были очень довольны, что видѣли солдата. Ребята были посмѣлѣе, тѣ долго стояли противъ господскаго дома, но казаки разогнали ихъ.

Толки пошли по всему заводу различные и разговаривали все про ревизора. Одни говорили, что видѣли ревизора, другіе третировали солдата.

Къ первому часу казаки собрали свободныхъ отъ работы мужчинъ на площадь. Мужчины не знали, зачѣмъ ихъ собираютъ. За мужчинами пошли бабы, но ихъ прогнали. Онѣ все-таки стояли въ улицѣ такъ, что видѣли и господскій домъ, и мужиковъ.

Часъ простояли, два. Рабочихъ было до пятисотъ. Подъѣхалъ къ рабочимъ на пролеткѣ исправникъ.

— Сію минуту ревизоръ подъѣдетъ къ вамъ. «Ура!» кричите,—и онъ крикнулъ «ура!» и поѣхалъ назадъ...

— Кабы тѣ опохмелиться... Крикнули бы—ухъ какъ!—разсуждали мужики.

— Што-то будетъ съ мужиками?.. глядите, какъ исправникъ горячится: откуда и голосъ взялся?—разсуждали бабы.

Пріѣхалъ приказчикъ и всталъ около рабочихъ, заговорилъ съ ними любезно; его окружили. Вдругъ вышелъ изъ подъѣзда господскаго двора тоненькій, низенькій человѣкъ въ горной инженерной формѣ и сѣлъ въ коляску съ управляющимъ. За нимъ ѣхали въ линейкахъ горные чиновники, скакали на лошадяхъ исправникъ и казакъ. Поровнявшись съ рабочими, ревизоръ поднялъ лѣвую руку къ шапкѣ, мужики сняли фуражки и шапки.

— Ура!—крикнулъ приказчикъ и протянулъ правую руку съ бумагой. Но никто изъ рабочихъ не подхватилъ за приказчикомъ «ура!»

— Что это?—спросилъ ревизоръ приказчика, указывая на бумагу, которую тотъ держалъ.

— Рабочіе вашему пр-ву подносятъ адресъ.

— Хорошо. Благодарю!

И, взявъ лѣвою рукою бумагу, онъ правою поднялъ руку управляющаго и велѣлъ ѣхать на фабрики. Приказчикъ обругалъ рабочихъ и поѣхалъ за начальствомъ. Народъ повалилъ за нимъ.

Бабы были въ восторгѣ. Между ними завязался споръ: однѣ говорили, что лицо у ревизора желтое, другія—зеленое, третьи говорили, что у него глаза блестятъ. Но все-таки всѣ пошли за мужиками.

Около фабрикъ на плотинѣ стояло много народа. Народъ постоянно прибывалъ, но женщины стояли за мужчинами. Веселости не было, говорили шопотомъ; время казалось каждому длинно.

Ревизоръ осмотрѣлъ работы, распекъ для вида заводское начальство и даже показалъ ему, какъ нужно для какой-то штуки печь топить; рабочіе смотрѣли на него во всѣ глаза и ждали случая сказать ему что-то; но онъ повидимому избѣгалъ даже того, чтобы остановиться близко рабочаго. Когда онъ сталъ выходить изъ фабрики, разговаривая съ механикомъ англичаниномъ, то одинъ рабочій сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Левизоръ!

Ревизоръ остановился, поглядѣлъ направо и налѣво и спросилъ:

— Кто говоритъ? Сюда!

Рабочіе почувствовали начальническій тонъ, лица заводскаго начальства измѣнились, сказавшій слово рабочій поглядѣлъ на товарищей и подошелъ къ ревизору, около котораго стояло заводское начальство.

— Говори!—сказалъ строго ревизоръ.

— Вотъ што ваше благо... ваше... теперича... я теперича... тово...—началъ оробѣвшій рабочій.

— Что?

— Покажи теперича... теперича обижаютъ; сына застегали... голубчикъ...

— Онъ сумасшедшій, в—во,—сказалъ управляющій.

— А! Ну, такъ отослать его въ сумасшедшій домъ. Ахъ, позвольте, Карлъ Иванычъ: у васъ рабочіе всѣ, должно быть, сумасшедшіе.

Управляющій растерялся.

— Этотъ по ошибкѣ попал...—сказалъ приказчикъ.

— Не съ вами говорятъ!—крикнулъ ревизоръ и вышелъ изъ фабрики.

Увидѣвъ народъ, онъ спросилъ управляющаго:

— Отчего эти не работаютъ?

— Они... они...

— Они... Я вижу, что они давно они...—передразнилъ управляющаго ревизоръ и вдругъ крикнулъ народу:

— Довольны ли вы?

Всѣ молчатъ. Молодые пятятся за стариковъ, бабы начинаютъ выдвигаться впередъ. Одна старуха подошла къ ревизору и бросилась къ нему въ ноги въ воемъ:

— Батюшка! голубчикъ!.. помилуй... Всегда покосомъ пользовались, отняли теперь.

— А!.. Лошадь?!

Вмигъ подали лошадь, и ревизоръ съ легкостью резиннаго мячика сѣлъ въ пролетку и поѣхалъ. За нимъ поѣхала свита. Управляющій подошелъ къ народу.

— Я васъ, подлецы! я в-васъ!.. по домамъ!—потомъ уѣхалъ самъ.

Народъ заволновался. Больше всѣхъ голосили бабы.

— Ну, не правда-ли, что вы свиньи! отчего вы не говорили? А?

— Ну-ну, ты первая молчала.

— Ахъ, штобъ вамъ околѣть совсѣмъ! Ну, зачѣмъ вы, безмозглые, шли-то сюда?

Мало этого, жены стали плевать на мужей, мужчины стали ругаться между собой.

— Ты што говорилъ? я, говоритъ, первый начну, а затѣмъ за Окульку спрятался?

— Да одинъ бы...

— Будьте вы прокляты, хвастуши. Вотъ и надѣйся. На словахъ такъ города берете.

Половина разошлась по кабакамъ, изъ остальныхъ одна половина пошла домой, другая на площадь къ господскому дому. Въ верхнемъ этажѣ господскаго дома играла музыка, передъ домомъ стояли линейки, двѣ кареты. Человѣкъ пятьдесятъ мужчинъ и женщинъ подошли къ солдату и стали спрашивать его: увидятъ ли они еще ревизора? Тотъ объявилъ, что ревизоръ послѣ обѣда уѣзжаетъ изъ завода. Это удивило рабочихъ.

— Да ты врешь! какъ же прежде, говорятъ, левизоры виномъ поили, а теперь...

— Положенья такого нонѣ нѣтъ, потому бунтуете очень.

— Братцы, солдата надо водкой поподчивать. Солдатъ, айда въ кабакъ...

— Нельзя.

— Вотъ тебѣ разъ! Водку пить нельзя? Да онъ, братцы, смѣшной какой-то. Пойдемъ, говорятъ. Мы тебя угостимъ.

— Уйти нельзя, караулъ!

— Дуракъ, братъ, ты—караулъ нашелъ! Да ты чево караулишь-то?

— Служба такая—законъ... Ничего я не караулю...

— Жалко ево, братцы. Илюха, бѣги, купи полуштофъ.

Чрезъ нѣсколько минутъ одинъ рабочій принесъ полуштофъ. Солдатъ выпилъ немного, еще выпилъ и скоро весь полуштофъ выдулъ, а какъ выдулъ—и расположился спать подъ окнами, положивъ ружье подъ голову.

Рабочихъ это долго смѣшило, и они цѣлый день разговаривали про этого солдата.

Бабы стали миролюбивѣе.

Но больше всѣхъ перетрусило заводское начальство. Оно знало, что за нимъ много есть тайныхъ грѣшковъ въ уѣздномъ судѣ и въ другихъ высшихъ инстанціяхъ, есть много важныхъ дѣлъ, по которымъ оно обвиняется въ жестокостяхъ и притѣсненіяхъ рабочихъ, въ воровствѣ и т. п. Но никто такъ не трусилъ, какъ управляющій.

Карлъ Ивановичъ Риттеръ былъ сынъ горнаго инженера, человѣка небогатаго, который умеръ рано. Обучался онъ въ горномъ институтѣ и, окончивъ въ этомъ заведеніи курсъ наукъ, былъ посланъ съ чиномъ поручика на службу въ горные заводы. О горнорабочихъ онъ имѣлъ такое же понятіе, какъ о жителяхъ луны. По теоріи онъ зналъ, гдѣ и какой долженъ быть грунтъ земли, въ какомъ мѣстѣ должна быть руда, но на практикѣ выходило иначе. Приказывалъ онъ рыть гору въ такомъ-то мѣстѣ,—гору рыли, но руды или было такъ мало, что разработку должно было бросать, или руды вовсе не было; въ рудники спускаться онъ боялся, и поэтому оказывалось, что штейгера знали лучше его. Впрочемъ, онъ со словъ стариковъ и штейгеровъ описывалъ рудники, происхожденіе руды, но надъ этими описаніями долго бы хохотали рабочіе. Прослужилъ онъ горнымъ смотрителемъ два года, нажилъ порядоч[illegible]лъ, ему показалось скучно жить въ провинціи, и онъ, подъ предлогомъ усовершенствованія себя въ горномъ дѣлѣ, уѣхалъ за границу. Оттуда онъ вернулся бариномъ и съ пустымъ карманомъ, женился на дочери знатнаго человѣка въ горномъ мірѣ и былъ опредѣленъ горнымъ начальникомъ. Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ этой должности, онъ нисколько не обращалъ вниманія на положеніе рабочихъ, требовалъ, чтобы рабочіе не получали *даромъ* усадьбы, покосы, провіантъ, и старался нажить себѣ состояніе посредствомъ тихаго общипыванія казны. Наконецъ, бывши за границей, владѣльцы таракановскихъ заводовъ уполномочили его на управленіе своими заводами, и онъ вышелъ въ отставку, потому что владѣльцы назначили ему жалованье въ 15 т. р. с., господскій домъ и опредѣленное количество процентовъ съ выплавленныхъ металловъ.

До двухъ часовъ ночи управляющій совѣтывался съ своею правою рукою—приказчикомъ, какъ ему лучше принять ревизора, главное, чтобы не дать замѣтить безпорядковъ. Приказчикъ увѣрялъ, что адресъ, который онъ подастъ ревизору отъ имени рабочихъ, выручитъ ихъ изъ бѣды, потому что въ адресѣ рабочіе очень радуются пріѣзду ревизора, благодарятъ его за то, что онъ далъ имъ хорошаго управляющаго, и потому вѣчно будутъ молить Бога за него.

Среди хлопотъ приказчикъ забылъ о Прасковьѣ Курносовой. Рабочіе съ утра до вечера работали на площадяхъ, на улицахъ, вычищая и выметая все грязное, замѣченное приказчикомъ; нѣсколько каменныхъ домовъ бѣлили; училище было переведено изъ столярни въ каменный домъ; мальчикамъ выдали по рублю денегъ для того, чтобы они хоть какъ-нибудь обулись и повязали шеи платками; вездѣ была суетня; даже бабы, и тѣ суетились, проклиная свою жизнь... Всѣ готовились какъ къ большому празднику.

Вотъ въ это-то суетливое время Корчагинъ и отправился къ столоначальнику главной конторы, которому онъ прошлаго года дѣлалъ рамы въ окна.

— Отвяжись ты съ своимъ паспортомъ! Никого не велѣно выпускать изъ завода,—сказалъ тотъ.

— Да вѣдь баба не мужикъ; съ нея на заводѣ работы не спрашивается.

— Нельзя.

Корчагинъ положилъ на столъ пятирублевую ассигнацію. Столоначальникъ на первыхъ порахъ не зналъ что и дѣлать: хочется и деньги взять, а если взять, такъ надо билетъ дать, а билеты не велѣно давать: есть приказъ въ его столѣ отъ управляющаго.

— Ну, была не была! только для тебя, Корчагинъ, дѣлаю это. Да и что тебѣ за фантазія непремѣнно теперь билетъ получать?

— Священникъ проситъ; а время не терпитъ: какъ можно, говоритъ, скорѣе посылай мнѣ свою племянницу,—говорилъ Корчагинъ столоначальнику.

— Значитъ, ты его надулъ?

— Надулъ.

Ночью Корчагинъ выѣхалъ съ Тимофеемъ Глумовымъ въ городъ, съ ними поѣхала и Прасковья

Игнатьевна. Родственникамъ ихъ было заказано, что если спросятъ Прасковью Игнатьевну, то сказали бы, что она пошла третьяго дня къ приказчику и съ тѣхъ поръ ея не видали, а Корчагинъ и Тимофей Глумовъ поѣхали на ярмарку въ спасскій заводъ, находящійся отъ таракановскаго въ семидесяти трехъ верстахъ и принадлежащій тоже таракановскимъ владѣльцамъ.

XIX.

До города Корчагинъ, Глумовъ и Прасковья Игнатьевна ѣхали сутки. Дорогой вездѣ, гдѣ они ни останавливались, жители были перепуганы извѣстіемъ, что скоро поѣдетъ въ таракановскій заводъ ревизоръ, разспрашивали ихъ, что-то теперь подѣлываетъ заводоуправленіе и зачѣмъ они не дождались пріѣзда ревизора? Таракановцы отвѣчали на эти вопросы нехотя, отрывочно, потому что они торопились въ городъ. У нихъ были свои заботы, и оба они очень боялись того, чтобы ихъ не нагнали, не обыскали и не воротили въ заводъ. А каждый изъ нихъ ѣхалъ въ городъ съ извѣстною цѣлью. Такъ Глумовъ везъ два куска мѣди, три полосы желѣза и разныя желѣзныя и чугунныя вещи за пазухой, кромѣ того у него были спрятаны двѣ серебряныя ложки, отлитыя имъ въ кузницѣ; а Корчагинъ везъ фунта полтора золота, которое онъ купилъ у промысловыхъ рабочихъ и которое везъ теперь извѣстному богачу раскольнику Бакину, внуку того Бакина, который прежде былъ управляющимъ таракановскими заводами. Какъ Глумовъ, такъ и Корчагинъ уже не въ первый разъ возили золото, мѣдь, желѣзо и чугунъ въ городъ и никогда не попадались. Однако и на этотъ разъ они добрались до города благополучно. Прасковья Игнатьевна, сидя посрединѣ долгушки, очень рада была своей поѣздкѣ и не знала, какъ благодарить Корчагина за то, что онъ не допустилъ приказчика наругаться надъ нею.

Показались новенькіе домики съ крышами и безъ крышъ, дворы, ничѣмъ неогороженные; потомъ дворы, огороженные плетнемъ, дощаными заплотами; дома лѣпились другъ къ другу.

— Ты, Вася, возьми къ себѣ племянницу-то,— сказалъ Глумовъ Корчагину.

— А на твоей квартирѣ разѣ нельзя?

— То-то што негдѣ. У Потѣева-то всего одна конура, а ребятъ свора. Вѣдь онъ птичникъ, что называется первый. У него годицъ поди штукъ сто.

— Тутъ тоже ребята; все молодежь. Впрочемъ, они теперь въ мастерской спятъ.

— Какъ же мнѣ тамъ?.. Нѣтъ, я, дядя, съ тобой,—говорила Прасковья Игнатьевна.

— Дура! Тамъ и накормятъ, а у Потѣева-то впроголодь.

Прасковьѣ Игнатьевнѣ очень не хотѣлось поселиться на первый разъ въ городѣ съ постороннимъ человѣкомъ; она обидѣлась на дядю, и когда Корчагинъ остановилъ лошадь передъ пятиоконнымъ деревяннымъ домомъ и вылѣзъ изъ долгуши, вылѣзла и она.

— Такъ на рынкѣ увидимся!—сказалъ Глумовъ Корчагину.

— Увидимся. Пойдемъ, Прасковья Игнатьевна... Однако што это такое?—И Корчагинъ сталъ смотрѣть на окна.

Такъ какъ былъ вечеръ, то въ окнахъ виднѣлись зажженныя свѣчи, два окна были отворены, и изъ дома слышались крики, визгъ, пляска.

— Никакъ свадьба? — заключилъ Корчагинъ и отворилъ калитку во дворъ; за нимъ боязливо вошла и Прасковья Игнатьевна. Тимофей Петровичъ между тѣмъ уже скрылся въ переулкѣ.

Дворъ большой, по бокамъ крытый навѣсомъ. Налѣво въ домѣ два окна, имѣющія разстоянія отъ фундамента полтора аршина; немного подальше оконъ парадное крыльцо съ полутора десятками ступенекъ, на которыхъ постланъ половикъ; за крыльцомъ выходило во дворъ маленькое окошечко. Противъ крыльца и оконъ, у заплота, лежатъ груды камней, двѣ мраморныя плиты, къ заплоту поставлены два мраморныхъ креста. Подъ навѣсомъ у заднихъ построекъ бродятъ двѣ здоровыя лошади, запряженныя въ заводскія долгушки, околоченныя фигурально желѣзомъ и выкрашенныя голубой краской. Корчагинъ обошелъ крыльцо; за угломъ домъ имѣетъ видъ двухъ-этажнаго, полукаменнаго, верхній этажъ недавно обшитъ тесомъ, въ немъ два окна, а въ нижнемъ три окна и дверь. Далѣе небольшая рѣшетка огораживаетъ маленькій садикъ, въ которомъ стояли небольшой простой работы столъ и двѣ табуретки.

Все это, кромѣ двухъ лошадей, запряженныхъ въ долгушки, принадлежитъ мастеру гранильной фабрики, Гаврилу Поликарповичу Подкорытову.

Подкорытовъ еще съ дѣтства пріучался вырѣзывать на камнѣ, что угодно, и работа его до сихъ поръ въ славѣ. Обучись онъ въ академіи, изъ него вышелъ бы извѣстный художникъ, но онъ былъ казенный человѣкъ, сынъ мастерового; родитель не имѣлъ и понятія, что если сына обучить дѣлу, какъ слѣдуетъ, то изъ него выйдетъ прокъ, да и родитель видѣлъ въ сынѣ усерднаго работника, помощника себѣ, и поэтому ему давались часто работы не по силамъ. Проработавъ на фабрикѣ лѣтъ десять въ качествѣ мастерового, Гаврило Поликарпычъ за одну хорошо обдѣланную имъ яшмовую вазу получилъ званіе мастера и теперь начальствуетъ надъ нѣсколькими фабричными рабочими. Но одно обстоятельство чуть не погубило Гаврила Поликарпыча. Секретарь конторы гранильной фабрики сказалъ управляющему, что у мастера Подкорытова есть превосходная вещь—нищій, вырѣзанный изъ камня; управляющій приказалъ принести эту вещь въ контору и оставить ее на тотъ случай, что ее посмотритъ генералъ, и безъ сомнѣнія Подкорытову выдадутъ или награду, или золотую медаль. Но черезъ двѣ недѣли статуи въ конторѣ не оказалось; ее взялъ къ себѣ управляющій. Это взбаломутило Подкорытова; онъ пошелъ къ управляющему, тотъ сказалъ ему, что онъ покупаетъ статую за двадцать пять рублей.

— И пяти тысячъ не возьму!—сказалъ Подкорытовъ.

— Какъ знаешь. А ты изъ какого мрамора дѣлалъ?

— Изъ своего.

— А гдѣ ты деньги взялъ?

Подкорытовъ подалъ жалобу генералу; управляющій потребовалъ къ себѣ Подкорытова и сказалъ ему:

— Ты еще смѣешь жаловаться? Изволь отправиться на гауптвахту; я покажу тебѣ, какъ воровать мраморъ!

Заплакалъ Подкорытовъ, просидѣлъ на гауптвахтѣ недѣлю, а статуи не воротилъ.

Послѣ этого случая Подкорытовъ ходилъ на фабрику только для наживы; онъ взялъ себѣ за правило: «коли начальники воруютъ, воруй и рабочій»... и въ качествѣ мастера онъ браковалъ хорошіе камни, возилъ ихъ къ себѣ домой и покупалъ для себя горный хрусталь, аметистъ, аквамаринъ и другіе камни отъ тѣхъ рабочихъ и крестьянъ, которые или сами находили ихъ, или покупали у бѣглыхъ заводскихъ рабочихъ. Живя въ заводахъ и деревняхъ, они слышали, что эти камни очень цѣнные, что за нихъ казна даетъ порядочныя деньги, а имѣть эти камни рѣшительно нѣтъ пользы тому, кто не знаетъ въ нихъ толку. Подкорытовъ зналъ, что если крестьянинъ или рабочій объявитъ о находкѣ начальству, то ему выдадутъ деньги развѣ черезъ полгода или объявятъ черезъ полицію, что представленный такимъ-то камень оказался горнымъ хрусталемъ низшаго достоинства, за что и не полагается представившему его денегъ; или вмѣсто того, чтобы выдать за камни тридцать рублей, выдадутъ три рубля. Подкорытовъ зналъ цѣну каждому необдѣланному камню и покупалъ его съ барышемъ для себя и безобидно для продавцовъ.

Когда Подкорытовъ разжился, то передалъ наблюденіе за работами на фабрикѣ другому мастеру, а самъ, приходя туда, только шутилъ съ рабочими, въ дѣла не вмѣшивался и за это всѣ любили его. Впослѣдствіи онъ открылъ мастерскую дома; въ ней работали четыре мальчика: выдѣлывали изъ плитъ памятники, изъ мрамора кресты, вырѣзывали на нихъ стихи и разныя разности. А такъ какъ онъ считался въ городѣ за извѣстнаго мастера, то его заваливали работой; только теперь онъ предоставилъ мастерскую въ распоряженіе своему девятнадцатилѣтнему сыну Ивану, тоже мастеру.

Съ Корчагинымъ Подкорытовъ познакомился назадъ тому лѣтъ шесть. Пріѣзжалъ онъ разъ на заводъ купить мрамора, а въ заводѣ жилъ его тесть почтальонъ, часто возившій съ почтой мраморъ. Этому почтальону Корчагинъ дѣлалъ садокъ для птицъ; садокъ понравился Подкорытову, онъ разговорился съ нимъ, пригласилъ навѣстить его, когда онъ будетъ въ городѣ. Съ этого времени они сошлись такъ, что Корчагинъ уже въ четвертый разъ останавливается прямо у Подкорытова.

Когда вошелъ Корчагинъ въ избу, въ кухнѣ происходило ликованіе: трое парней, отъ четырнадцати до 18 лѣтъ, сидя за столомъ въ переднемъ углу, играли въ карты, куря воронкообразныя папироски; каждый изъ нихъ что-нибудь говорилъ, каждый кричалъ, кривлялся, размахивалъ руками и хохоталъ. Посреди кухни парень лѣтъ семнадцати, играя на гитарѣ, отплясывалъ «Сѣни» и то и дѣло подбѣгалъ къ кухаркѣ, женщинѣ лѣтъ тридцати, въ ситцевомъ платьѣ, довольно здоровой, голосистой, которая при каждомъ подскакиваніи шалуна шлепала его широкою ладонью то по спинѣ, то по головѣ. Двое, повидимому рабочихъ, сидя на скамьѣ подъ полатями, ѣли не торопясь по куску рыбнаго пирога и сдержанно о чемъ-то толковали. Весь этотъ гамъ, хохотъ ребятъ, пляска парня, суетня кухарки, то и дѣло перебѣгавшей отъ самовара къ тарелкамъ, привели Корчагина къ тому заключенію, что у Подкорытова сегодня справляется какой-нибудь праздникъ.

— Здорово, крещеные! — сказалъ Корчагинъ, войдя въ кухню и кладя на лавку фуражку. Одинъ изъ игравшихъ парней посмотрѣлъ на вошедшаго, за нимъ посмотрѣли остальные; только плясунъ кружился, не обращая никакого вниманія.

— А, Васька Корчагинъ!—сказалъ одинъ изъ игравшихъ и сталъ играть снова.

— Али у васъ балъ—чортъ съ печи упалъ?.. Здорово, Илюха, косые глаза!—проговорилъ Корчагинъ, подходя къ одному изъ игроковъ и ударивъ его по спинѣ ладонью.

— Ты што, таракановская блоха, долго не бывалъ?—сказалъ Илюха.

Прасковья Игнатьевна стояла у дверей и не знала, что ей дѣлать. Пока Корчагинъ здоровался съ рабочими Подкорытова, кухарка Федосья увидѣла ее и, подошедши къ ней, спросила строго:

— Ты што?

— Она со мной пріѣхала,—сказалъ Корчагинъ. Рабочіе Подкорытова захохотали.

— Съ законнымъ бракомъ!—имѣемъ честь...— галдѣли они.

Корчагинъ ничего не сказалъ на это. Курносова присѣла на скамейку. Одинъ изъ рабочихъ, сидѣвшихъ на скамейкѣ, спросилъ ее:

— Ты чья? отколева?

Она молчитъ.

— Эй ты, долговязый, што у те, у бабы-то, отсохъ што ли языкъ-то? — Корчагинъ сердито поглядѣлъ на него, а Илюха началъ уськать.

— Ты, черномазый, молчи. Не къ тебѣ пришли, не съ тобою и знаются. Прасковья Игнатьевна, иди сюда!

Курносова не двигалась съ мѣста. Сидѣвшіе на скамейкѣ встали и подошли къ Корчагину.

— Видно птицу по полету, кто она таковая! извѣстно, всѣ эти заводскіе—мошенники...—проговорилъ одинъ изъ нихъ, небрежно набивая махоркой трубку.

— Ужъ и не говори! гдѣ фальшивыя бумажки дѣлаютъ, какъ не въ заводахъ?—проговорилъ его товарищъ, заливаясь горластымъ смѣхомъ.

— Какъ бы ты былъ умнѣе, я бы поговорилъ съ тобой. Ты вотъ што скажи: пошто васъ гранильщиками называютъ?—сказалъ Корчагинъ.

— Вы коли въ гости пришли, такъ должны молчать; а не то подите на улицу,—кричала кухарка.

Нѣсколько времени городскіе рабочіе приста-

вали къ Корчагину, но онъ не обращалъ на нихъ никакого вниманія; они ворча сѣли на скамейку. Здѣсь не мѣшаетъ объяснить слѣдующее обстоятельство: городскіе рабочіе принадлежали не помѣщикамъ, а казнѣ, и потому носили форменное платье. Въ сущности назначеніе какъ казенныхъ, такъ и помѣщичьихъ рабочихъ состояло въ томъ, чтобы работать, но помѣщичьи рабочіе завидовали казеннымъ, потому что они жили въ городѣ, гдѣ находилось главное горное начальство, которому можно было жаловаться; съ своей стороны казенные рабочіе относились къ помѣщичьимъ свысока, какъ будто думая, что они принадлежатъ казнѣ или царю, а не какому-нибудь частному лицу. Кромѣ этого у казенныхъ мастеровыхъ были еще такого рода преимущества, какихъ не было у крѣпостныхъ, а именно: сынъ мастерового, обучившись въ горныхъ училищахъ, могъ сдѣлаться урядникомъ (званіе, равное унтеръ-офицеру) и по выслугѣ опредѣленнаго закономъ срока могъ получить оберъ-офицерскій чинъ, который давалъ право или на переходъ въ другія вѣдомства, или на выходъ въ отставку.

Между тѣмъ Семенъ сидѣлъ около Прасковьи Игнатьевны.

— Какое, слышь, у те лицо важнѣющее!..—и онъ бралъ ее за руку. Курносова убѣжала во дворъ.

— Ну, ты куды ее?—спросилъ Илья Корчагина про Курносову.

— Къ Бакину. Въ прошлый разъ я обѣщался ему.

— Развѣ она изъ гульныхъ?

— Избави Богъ!

— А баба ничего: можно жениться... Што жъ ты не женишься?—проговорилъ другой рабочій.

Корчагинъ промолчалъ. На другой день, проснувшись раннимъ утромъ, Корчагинъ собрался идти къ купцу Бакину.

На углу Макулинской улицы и Бакинскаго переулка стоитъ большой каменный двухъ-этажный домъ, принадлежащій коммерціи совѣтнику Бакину. Какъ домъ, такъ и хозяинъ его извѣстны въ городѣ даже ребятамъ, потому что съ именемъ богача Бакина соединяются самые разнорѣчивые и двусмысленные толки, которыхъ таинственность придаетъ имъ особенный характеръ. Никто навѣрное не знаетъ: что́ такое Бакинъ? Человѣкъ онъ лѣтъ шестидесяти, лысый, съ сѣдою бородой, съ задумчиво-смиреннымъ взглядомъ. Лѣтомъ онъ ѣздитъ въ купеческомъ кафтанѣ, носитъ сюртуки, зимой ѣздитъ въ собольей шубѣ и собольей шапкѣ. Въ магистратѣ онъ бываетъ разъ въ годъ; вѣжливъ онъ со всѣми; бываетъ у высшаго начальства на обѣдахъ, первый жертвуетъ на богоугодныя заведенія, но ни съ кѣмъ не входитъ въ близкія и интимныя отношенія. Купцы всячески старались заискивать его расположенія, зная, что онъ имѣетъ нѣсколько милльоновъ денегъ; чиновники, особенно горные, хвалили его какъ превосходнаго человѣка за то, что онъ щедро дарилъ ихъ рублями; таракановцы видѣли въ немъ защитника, потому что вся его прислуга была изъ таракановцевъ, и Бакинъ иногда заступался за нихъ подъ видомъ благочестія. И все-таки о немъ ходили самые странные слухи.

Никто такъ хорошо не зналъ Бакина, какъ Василій Васильевичъ Корчагинъ и его бабушка, Марфа Потаповна Бездонова. Родъ Бакиныхъ идетъ отъ московскихъ торговыхъ людей. Въ началѣ гоненія на раскольниковъ Петръ Бакинъ принужденъ былъ съ своимъ семействомъ бѣжать. Онъ поселился на соляныхъ промыслахъ, принадлежавшихъ Строгоновымъ. Тамъ его и его товарищей, пришедшихъ вмѣстѣ съ нимъ, не принуждали къ новизнѣ, а заставляли работать; но такъ какъ Бакины торговали солью, то ихъ стали преслѣдовать, потомъ пытать. Однако сыну Петра Бакина, Аристарху, удалось убѣжать, и онъ пріютился въ таракановскомъ заводѣ, на Козьемъ Болотѣ, выдавъ себя за раскольничьяго архіерея. Но Аристархъ никакъ не думалъ, что его записали въ крѣпостные; это узналъ его сынъ Семенъ, торговавшій на широкую руку въ господскомъ порядкѣ и считавшійся первымъ богачомъ и мошенникомъ. Богачомъ его считали бѣдняки, получавшіе отъ него по субботамъ гривенники, а мошенникомъ—начальство, потому что онъ его ловко обдиралъ и надувалъ. Наконецъ Бакинъ, выпущенный на волю за то, что построилъ въ заводѣ единовѣрческую церковь, записался въ купцы и повернулъ дѣло такъ, что заводоуправленіе стало одолжаться у него и въ восемь лѣтъ задолжало ему болѣе ста тысячъ рублей. Деньги онъ получилъ, управляющаго смѣнили, а Бакинъ уѣхалъ на золотые пріиски, предоставивъ женѣ своей построить въ городѣ домъ. Сынъ его, Андрей Семенычъ, десять лѣтъ жилъ то въ Сибири, то на Уралѣ, то въ столицахъ, и всѣми дѣлами въ городѣ заправляла сестра Андрея, Катерина. Будучи ханжой и прикидываясь благодѣтельницей, она принимала у себя бѣдныхъ, преимущественно таракановскихъ бабъ. Замужемъ она не была, потому что называла себя сестрой милосердія: но аристократія, особенно дамы, разсуждали иначе, потому что имъ ближе было знать это дѣло, тѣмъ болѣе, что она иногда танцовала на вечерахъ... Одна прислуга не могла понять ея поведенія: Катерина ѣздила на гулянья, на балы, а дома носила вериги и заставляла дворника бичевать себя.

Теперь она умерла. Андрей Семенычъ имѣетъ не одинъ десятокъ золотыхъ пріисковъ и живетъ безвыѣздно въ городѣ. По вторникамъ и субботамъ онъ принимаетъ бѣдныхъ и раздаетъ имъ деньги; таракановцы, какъ земляки, получаютъ отъ него совѣты, а тѣ, которые имѣютъ съ нимъ дѣла, приглашаются въ его комнаты.

Прислуги у Бакина было вотъ сколько: поваръ Елисѣй съ молодой женой Марьей, которая подаетъ Бакину умываться, моетъ посуду, поправляетъ ему постель; дворникъ Петръ съ женой Афимьей прачкой, кучеръ Савелій съ молодой женой судомойкой Матреной, садовники Кириллъ и Клементій и коровница Акулина, старая женщина. Есть у него и управляющій Стружковъ.

Корчагинъ пришелъ въ кухню Бакина въ девятомъ часу утра.

— Смотрите!.. Экъ эво! — сказалъ кучеръ Са-

велій, показывая на Корчагина правой рукой, въ которой онъ держалъ ложку.

Начались разспросы. Вся прислуга Бакина была таракановская, и поэтому потолковать было о чемъ. Корчагина пригласили завтракать.

— А я, братцы, къ вамъ бабу привезъ: знаете Курносиху?

— Што жъ она дѣлать у насъ будетъ? Развѣ къ своей любовницѣ пристроитъ...

— А это, самъ знаешь, нехорошо, потому примѣръ дрянной,—замѣтилъ кучеръ Савелій.

— Такъ какъ вы посовѣтуете?

— Скажи ему, можетъ онъ и поможетъ ей чѣмъ-нибудь.

Около часу ожидалъ Корчагинъ свиданія съ Бакинымъ. Прихожая Бакина отличалась отъ другихъ барскихъ прихожихъ тѣмъ, что лѣвая ея стѣна состояла изъ огромной стеклянной рамы и за ней затѣняли свѣтъ разные цвѣты и деревья. Марья, жена повара, то и дѣло проходила въ столовую и изъ столовой въ комнаты съ серебрянымъ самоваромъ, фарфоровыми чашками и гордо взглядывала на Корчагина.

— Ступай... да ноги-то вытри,—сказала наконецъ Марья.

— Чисты.

— Вытри! тебѣ говорятъ...

Вошелъ Корчагинъ въ большую комнату съ тремя окнами, съ лакированнымъ поломъ, голубыми обоями, съ люстрой посреди потолка, съ двумя зеркалами. На мраморныхъ столбахъ стояли золотые подсвѣчники, вазы; у оконъ въ большихъ банкахъ росли цвѣты. Разнообразія такъ много въ этой комнатѣ, что сразу трудно все осмотрѣть. Изъ этой комнаты три хода, изъ которыхъ одинъ шелъ въ оранжереи, которыя тянулись изъ комнаты къ низу по лѣстницѣ и оканчивались садомъ. Здѣсь пахло не то ладономъ, не то мускусомъ. Прошли другую комнату съ бѣлыми обоями на стѣнахъ. Въ этой комнатѣ не было цвѣтовъ, а были на стѣнахъ картины въ позолоченыхъ рамахъ; картины эти изображали какихъ-то смиренно-блѣдныхъ мужей, вѣроятно мучениковъ раскола. Въ третьей комнатѣ съ зелеными обоями, расписнымъ потолкомъ, на которомъ нарисованы нагія женщины, стоялъ посрединѣ большой столъ, на столѣ большой серебряный самоваръ, чайный приборъ, нѣсколько фарфоровыхъ вазъ съ фруктами, яблоками и ягодами; окна завѣшивались большими завѣсами. Комната отъ мебели, статуй, дивановъ и разныхъ украшеній казалась очень маленькой. Самъ Бакинъ лежалъ на диванѣ въ горностаевомъ халатѣ, въ туфляхъ и бархатной шапочкѣ на подобіе скуфьи.

Корчагинъ три раза поклонился ему въ ноги и, наклонивъ голову, сказалъ: «благослови, отче...» Бакинъ перекрестилъ его голову и сказалъ: «будь благословенъ».

— Съ миромъ ли?

— Съ миромъ, Господь милости послалъ.

Бакинъ задумался, потянулся, зѣвнулъ, а Корчагинъ подумалъ: «взялъ бы тебя»...

— Я сегодня нездоровъ,—сказалъ вдругъ Бакинъ, потирая лѣвою рукою лобъ.

Молчаніе. Стучатъ маятники часовъ, поютъ соловьи и канарейки. Бакинъ лѣниво мѣшаетъ ложкой въ чашкѣ.

— Вы не слыхали, что учитель Курносовъ померъ? Онъ опился съ горя... Жена его, хоть и не имѣетъ дѣтей, однако житье ея плохое. Дядю ея вы знаете...—началъ вдругъ Корчагинъ, перемѣнивъ прежнюю манеру разговоровъ, заключавшуюся въ томъ, что онъ говорилъ съ Бакинымъ, какъ дьячокъ съ архіереемъ, произнося въ носъ и нараспѣвъ.

— Шла бы работать... Именно работать, сынъ мой,—прогнусилъ Бакинъ.

— Я ее привезъ сюда. Сдѣлайте такую милость...

— Но... теперь, сынъ мой... Ты бы обратился къ моему управителю.

Корчагина эти слова удивили, потому что прежде онъ самъ давалъ просителямъ записки или на имя своего управляющаго Стружкова, или на имя какого-нибудь должностного лица. Бакинъ замолчалъ, замолчалъ и Корчагинъ.

— Правда ли, что намъ дадутъ даромъ волю?—спросилъ вдругъ робко Корчагинъ.

— Што?

Корчагинъ повторилъ свой вопросъ.

— Да... я самъ хлопоталъ объ этомъ.

Бакинъ всталъ, сталъ ходить по комнатѣ. Молчаніе продолжалось минутъ пять.

— Еще что?—спросилъ вдругъ Бакинъ.

— Я крупки привезъ.

— А! много?—спросилъ живо Бакинъ, и глаза его засверкали.

— Не вѣсилъ.

Корчагинъ вытащилъ изъ-за пазухи платокъ, развернулъ его; въ платкѣ былъ свертокъ бумаги, а въ бумагѣ была баночка, въ которой заключалось золото. Бакинъ взялъ банку, посмотрѣлъ и, сказавъ: «только!», ушелъ въ другую комнату. Черезъ полчаса онъ вышелъ и сказалъ Корчагину:

— Фунтъ съ четвертью. А ты сколько заплатилъ бѣглымъ?

— Сто рублей.

Пришелъ крадучись низенькій человѣкъ въ черномъ кафтанѣ. Это былъ управляющій Бакина, Назаръ Пантелеичъ Стружковъ, старый человѣкъ, съ лысой головой, называемый въ городѣ апостоломъ.

— Назаръ, выдай ему полтораста рублей,—сказалъ Бакинъ управляющему. Управляющій поклонился и спросилъ: — «больше никакихъ приказаній не будетъ?»

— Нѣтъ.

Управляющій ушелъ. Корчагинъ стоялъ; онъ хотѣлъ что-то сказать.

— Ну... мнѣ некогда... я ѣду.

— Андрей Семенычъ, я хотѣлъ васъ попросить... насчетъ Курносовой...

— Ну?

— Такъ нельзя ли ей помочь?

— Приходи завтра!—и Бакинъ ушелъ.

— Свинья! — прошепталъ Корчагинъ и, сжавъ

кулаки, сердито вышелъ изъ комнатъ Бакина съ намѣреніемъ никогда больше не являться къ нему.

— Ну, скотина вашъ баринъ!—сказалъ Корчагинъ, встрѣтившись съ дворникомъ Петромъ.

— Незамай: такого барина едва ли гдѣ сыщешь,— смѣялся Петръ.

— Приходи завтра... мнѣ некогда!—передразнивалъ Корчагинъ Бакина.

Прислуга захохотала, и всѣ наперерывъ стали разсказывать, какое, когда и кому Бакинъ сдѣлалъ замѣчаніе. Корчагина между тѣмъ пригласили обѣдать.

XX.

Когда Корчагинъ воротился въ домъ своего пріятеля Подкорытова, Прасковьи Игнатьевны уже не было. Изобиженная и напуганная работниками Подкорытова, обманутая его дочерью въ томъ, что Корчагинъ больше не воротится, она надѣла зипунъ и вышла на улицу, не сказавши никому ни слова. Поворотила она отъ воротъ налѣво, прошла нѣсколько домовъ: попался ей мужчина, сидящій въ телѣгѣ.

— Дядюшка, а гдѣ здѣсь рынокъ?—спросила она проѣзжающаго.

— Какой? Здѣсь четыре рынка: хлѣбный, деревянный, два сѣнныхъ.

— Ну, хоть хлѣбный.

— Иди въ переулокъ. Потомъ налѣво въ улицу. потомъ направо.

Поблагодарила Прасковья Игнатьевна мужчину и пошла. Долго она шла, нѣсколько разъ останавливалась передъ большими домами, глядѣла на кареты, но до рынка не добралась.

Ноги начали уставать, хочется ѣсть; а кругомъ все пусто... «Никакъ я заблудилась?» подумала Прасковья Игнатьевна и остановилась...

Куда идти? на квартиру? А у кого она ночевала сегодня? какъ она спроситъ, когда и фамиліи хозяина не знаетъ—кажется, Подковыркинъ? Вотъ спросила она одну женщину: гдѣ находится домъ Подковыркина? не знаетъ. Опять пошла Прасковья Игнатьевна. Вотъ поле какое-то, горка, домъ большой, около него солдаты съ ружьями ходятъ. Пошла она къ одному солдату робко. Солдатъ остановился, глядитъ на нее.

— Чево глядишь! зѣвай!!—сказалъ другой солдатъ и тоже остановился.

Прасковья Игнатьевна поклонилась солдату низко и сказала:

— Не знаешь ли ты, солдатикъ, дорогу?..

— Знаю... а што дашь?

— Нечего дать-то...

— Двѣ дороги: одна въ Сибирь, другая въ Рассею. Ишь двери-то! изъ нихъ въ Сибирь ходятъ, а другихъ воротъ изъ этой долины не полагается,— сострилъ другой солдатъ.

— Да мнѣ бы на рынокъ.

— А! Ну, такъ иди все прямо, какъ разъ въ рынокъ упрешься.

Прасковья Игнатьевна пошла. Солдаты еще нѣсколько разъ кричали ей, но она думала о томъ, куда бы ей дѣться: хочется ѣсть, ноги устали. Развѣ Христа ради попросить? Но какъ? «Я молодая... совѣстно»... Однако она вошла въ одну избу, никого нѣтъ. Вышла. Вошла въ другую, чай пьютъ. Попросила Христа ради—Богъ подастъ.

«И отъ чего это я, дура набитая, раньше не подумала? Онъ, кто его знаетъ, можетъ на зло... Онъ и въ заводѣ-то какой-то чудной»... думала она о Корчагинѣ, идя сама не зная куда. «Это все штуки дяди: ишь, говоритъ, нельзя»...—и страшно обидѣлась Прасковья Игнатьевна на дядю.

Вотъ рынокъ. Торгаши складываются, запираютъ лавки, побрякиваютъ ключами и идутъ домой. Подошла она къ бабѣ, что пряниками торгуетъ.

— Христа ради...

— Сама, матка, Христа ради торгую,—сказала та.

— Тетушка... я заблудилась.

— Гдѣ ты живешь?

— Не знаю...

Баба вытаращила на нее глаза.

— Ты бѣглянка?

— Нѣ...

Подошелъ солдатъ.

— Служивый, имай: бѣглянка!

— Ну ихъ!—и солдатъ ушелъ.

— Тетушка, у меня билетъ есть, ей-Богу есть... Пусти ночевать.

— Говорятъ тебѣ, сама Христа ради живу.

Рынокъ пустѣлъ. Зашла она въ пустое мѣсто, окруженное лавками. Присѣла она на завалинкѣ и заплакала... Стало темно; залаяли собаки, привязанныя къ нѣсколькимъ лавкамъ, застучали палками караульные. Страшно... Уйти бы... «Держи! держи!» вдругъ услышала она и вздрогнула... Сильно застучали палками, громче прежняго залаяли собаки; кто-то за кѣмъ-то бѣжалъ недалеко... Она крестилась, молилась... Утихло. Отлегло отъ сердца у Прасковьи Игнатьевны; она начала засыпать... Опять лай... Стало свѣтать; караульные спали, собаки тоже... Крадучись вышла изъ засады Прасковья Игнатьевна и скоро очутилась въ улицѣ. Вошла она въ пустой дворъ; въ домѣ, какъ видно, не живутъ; забралась на сѣнникъ и тамъ пролежала до сумерекъ. Въ сумерки вышла попросить милостинку; насилу дали кусокъ хлѣба.

— Теперь у меня мѣсто есть; только хлѣбца бы...

Зашла въ кухню пятіоконнаго дома—никого нѣтъ, только на столѣ лежитъ коврига ржаного хлѣба. Она поспѣшно взяла ее и спрятала подъ зипунъ. Входитъ кухарка съ ведромъ.

— Чево тебѣ?—крикнула кухарка.

— Мѣста, тетушка, ищу. Работать хочу,—проговорила робко Прасковья Игнатьевна.

— Я тебѣ... дамъ мѣсто! А подъ пазухой-то што?

— Ничево.

Кухарка поставила ведро и отдернула полу зипуна. Взглянувъ на столъ, она закричала:—«Матушки свѣты!.. Ой!.. Ограбили!!..»

На этотъ крикъ пришла толстая барыня.

— Что такое, Агафья?—проговорила она, сжимая губы и растягивая слова.

— Вотъ, матушка, воровку поймала... Это она все хлѣбъ воруетъ.

Барыня принялась тузить Курносову, какъ только могла, грозилась отправить ее въ полицію, но вытолкала за ворота, не давъ ни куска хлѣба.

Безсознательно подошла она къ плотинѣ. Прудъ... Темнѣетъ. Спустилась она къ плоту, поглядѣла на набережную, никого нѣтъ. Спустилась съ плота по колѣна; вода студеная, какъ въ ключѣ... Вышла она изъ воды.

— Еще прудъ, то ли дѣло у насъ-то!—сказала она и пошла къ самымъ вѣшникамъ подъ крышу. Тамъ она заснула.

Звонятъ въ большой колоколъ. «Пойду въ церкву». Былъ какой-то праздникъ, и поэтому въ церкви было человѣкъ тридцать, а на паперти стояло шесть женщинъ въ ободранныхъ одежонкахъ, съ истасканными лицами, протягивающихъ руки въ то время, когда кто-нибудь шелъ мимо нихъ въ церковь или изъ церкви, и голосящихъ на разные тоны: «милостинку, Христа ради, убогой, слѣпой»; и если которая-нибудь изъ нихъ получила копеечку, то на нее всѣ нападали, обзывали ее отборною бранью...

Курносова приткнулась къ послѣдней.

— Ты куда! нѣтъ што ли другихъ-то церквей?

— Гони ее, Марья, шкуру бѣлолицую,—голосили нищенки.

Курносова молчитъ. Ее стали выталкивать. Шелъ купецъ.

— Ахъ вы, негодяйки! гдѣ вы стоите?—крикнулъ онъ на нищихъ.

Вышла изъ толпы нищенокъ корявая и, протянувъ руку, запричитала:—слѣпой, убогой... подай, купецъ-отецъ, благодѣтель!

— Свиньи!—сказалъ купецъ и вышелъ.

— Ишь, пузо-то лопнуть хочетъ! нахапалъ денегъ-то: два дома имѣешь, а нищимъ хоть бы грошъ далъ, штобъ тѣ околѣть!—ворчали нищенки, слѣдя за удаляющимся купцомъ.

Подалъ кто-то Курносовой денежку.

— Ну-ко кажи!

— Дѣли на всѣхъ!—голосили нищенки.

Курносова показала денежку; денежку отъ нея отняли и ее стали гнать. Но изъ церкви стали выходить люди. Всѣ нищенки протянули руки и заголосили на разные тоны. Прасковья Игнатьевна дрожала отъ страху и шопотомъ просила милостинку, проклиная свою жизнь. Она получила три копейки да два грошика.

Прасковья Игнатьевна очень была рада, что насобирала четыре коп. денегъ; она пошла на рынокъ, гдѣ и купила хлѣба. Отдохнувши немного у гостинаго двора, она пошла искать себѣ мѣста.

Долго Прасковья Игнатьевна бродила по городу. Придетъ въ одинъ домъ, говорятъ: не надо; въ другомъ говорятъ: мы безъ рекомендаціи не принимаемъ, кто тебя знаетъ, можетъ быть, ты и воровка... Ходила, ходила Прасковья Игнатьевна, сѣла на тротуаръ и заплакала.

— Ты што плачешь? — спросила ее какая-то старушка.

— Ой, тетушка, заблудилась я... не знаю, што и дѣлать.

— Ишь ты! Какъ же ты это заблудилась-то? Нездѣшняя видно?

— Изъ таракановскаго завода пріѣхала съ дядей Глумовымъ да мастеромъ Корчагинымъ.

— Зачѣмъ, матка, пріѣхала-то?

— Мѣсто они мнѣ хотѣли найти.

Мало-по-малу старуха разговорилась съ Курносовой, пожалѣла ее и посовѣтовала ей сходить теперь же наискосокъ на постоялый дворъ, гдѣ хозяйка нуждалась въ работницѣ.

Дворъ былъ весь загроможденъ телѣгами, наполненными разною кладью, лошади распряжены; около нихъ суетятся четыре-пять ямщиковъ; подъ телѣгами снуютъ курицы, выклевыя овесъ.

Курносова подошла къ одному ямщику, который былъ поближе другихъ. Она поклонилась ему, когда онъ поглядѣлъ на нее.

— Ты што, ѣхать што ли?

— Нѣтъ.

— Ну?

— Мѣсто ищу въ работу.

Вышла изъ дому хозяйка, оглядѣла Прасковью Игнатьевну и спросила отъ нея паспортъ. Та дала. Хозяйка, взявъ билетъ, подала его прочитать грамотному ямщику.

— Красивая!—сказалъ ямщикъ.

— Да што писано въ бумагѣ-то?—спросила хозяйка.

— Можно: двадцати лѣтъ; баба-вдова!

— Да ты говори, што писано; вислоухой!

Ямщикъ кое-какъ прочиталъ вслухъ; хозяйка, слушая, оглядывала Прасковью Игнатьевну.

— Стряпать умѣешь?—спросила хозяйка Прасковью Игнатьевну.

— Умѣю.

— Ну, ладно, посмотримъ.

Съ первой же минуты хозяйка заставила Курносову мыть столъ, посуду, выносить помои. У нея болѣла голова, она чувствовала то жаръ, то ознобъ. Ночью она стала бредить; хозяйка злилась, хотѣла выбросить ее на улицу, но ямщики посовѣтовали свезти ее завтра въ больницу.

Итакъ Прасковью Игнатьевну свезли въ больницу.

XXI.

Между тѣмъ какъ Прасковья Игнатьевна странствовала въ поискахъ за мѣстомъ, Корчагинъ, не найдя ее у Подкоритова, вмѣстѣ съ Глумовымъ отправился въ свою очередь ее отыскивать. Но его странствіямъ суждено было кончиться очень скоро. Оба пріятеля попали въ острогъ, гдѣ и просидѣли три недѣли. Сначала ихъ обвиняли за кражу у Бакина золотыхъ часовъ съ дорогими камнями. А потомъ, такъ какъ у нихъ не было билетовъ на выѣздъ изъ завода, то начальство стало требовать изъ завода свѣдѣнія: кто такіе Корчагинъ и Глумовъ и чѣмъ они занимаются. Управляющій Бакина по приказанію своего хозяина увѣдомилъ таракановское заводоуправленіе, что Корчагинъ силою вломился въ комнаты Бакина, и поэтому Бакинъ проситъ наказать *злодѣя* по-заводски. Итакъ

завелось два дѣла: о кражѣ часовъ, съ насиліемъ и со взломомъ, и о бѣгствѣ изъ завода въ городъ для грабежа. Само собой разумѣется, грабителей заковали, и въ городѣ была пущена молва, что Корчагинъ сидитъ въ острогѣ уже въ другой разъ; того и гляди, что онъ подкупитъ солдатъ и убѣжитъ.

Противъ Корчагина были всѣ, кромѣ Подкорытова, который принималъ самое дѣятельное участіе въ спасеніи своего пріятеля. Ему вся полиція была хорошо знакома, и онъ могъ бы поэтому творить всякіе дебоши, если бы только былъ расположенъ къ нимъ. Однако въ этомъ случаѣ полицейскіе чины отказались принять его совѣтъ: обыскать прислугу Бакина, обыскать разныхъ закладчиковъ и закладчицъ. Они не согласились на это, потому что ихъ, т. е. полицеймейстера, просилъ Бакинъ сокрушить во что бы то ни стало Корчагина. Поэтому Подкорытовъ сталъ дѣйствовать самъ. Ему были знакомы всѣ золотыхъ и каменныхъ дѣлъ мастера, главные аферисты, отдающіе взаймы и подъ закладъ деньги. Всѣ эти господа никакъ не знали да и не могли знать, что Подкорытовъ знакомъ съ какимъ-то Корчагинымъ.

Однако онъ двѣ недѣли напрасно подлаживался къ аферистамъ. Только разъ приходитъ въ магазинъ золотыхъ и бриллiантовыхъ вещей. Разговорился съ хозяиномъ, тотъ пригласилъ его къ себѣ вечеромъ выпить пуншъ. Подкорытовъ отъ пунша никогда не отказывался. Пришелъ, начались разговоры о разныхъ разностяхъ, вдругъ Подкорытовъ вынимаетъ изъ жилетки золотые часы и говоритъ:

— А сколько эти часы стоятъ?

— Да какъ тебѣ сказать... Прежде они сто стоили, а теперь не больше шестидесяти, пожалуй за пятьдесятъ можно купить.

— Ну, братъ, ты врешь! я ихъ за двѣсти не продамъ, потому они вѣрно ходятъ, такъ вѣрно!..

— А вотъ часы такъ часы! Такихъ, я думаю, у самого вашего генерала никогда не бывало,—и обладатель дорогихъ часовъ ушелъ въ другую комнату. Немного погодя, онъ вынесъ золотые часы, которые и сталъ показывать Подкорытову.

— Вотъ, батюшка, на этой недѣлѣ изъ-за границы получилъ.

— Ну нѣтъ, мои лучше.

— Да брильянтъ-то, брильянтъ-то одинъ чего стоитъ!

Подкорытовъ пошелъ въ прихожую подъ предлогомъ плюнуть, такъ какъ онъ въ хорошихъ домахъ всегда плевалъ въ прихожей. Тамъ онъ записалъ № часовъ и число камней. Брильянтщикъ то и дѣло хвалилъ часы.

— Сколько же они стоятъ?

— Да три тысячи.

— Фю-ю!—просвистѣлъ Подкорытовъ, развелъ руками и поклонился окну.

Это значило, что онъ удивился.

— Тысячу возьми—куплю.

— Куда тебѣ, мастеру, имѣть такіе часы. Да тебя убьютъ!

Вечеромъ Подкорытовъ сходилъ въ уѣздный судъ, сдѣлалъ справку изъ дѣла: какой № у Бакинскихъ часовъ. № оказался схожимъ съ часами брильянтщика. Подкорытовъ на другой день утромъ отправился къ Бакину, которому онъ часто дѣлалъ вещи изъ мрамора. Бакинъ принялъ его сухо, но пригласилъ сѣсть на стулъ.

— Ну что, Андрей Семенычъ, нашли часы?

— Гдѣ найдешь! Ужъ я знаю, что если таракановцы что украдутъ; то значитъ въ воду кануло.

— Хотите, я сегодня же вамъ принесу ваши часы?

— Какъ?

Бакинъ вскочилъ съ кресла.

— Это ужъ дѣло мое. Брильянтщикъ Лефоръ продаетъ мнѣ ихъ за три тысячи рублей, такъ я пришелъ предупредить васъ: согласны вы уплатить мнѣ эту сумму?

Бакинъ согласился, а вечеромъ получилъ свои часы. Начались спросы. Лефоръ купилъ часы отъ одного золотыхъ дѣлъ мастера, тотъ купилъ ихъ отъ афериста, аферисту они были заложены женою Бакинскаго повара, Марьей.

Корчагина и Глумова выпустили изъ острога, а Марью съ мужемъ Бакинъ прогналъ, но не посадилъ въ острогъ по извѣстной ему одному причинѣ.

Денегъ, какія ему слѣдовало, Корчагинъ не получилъ; жаловаться было нельзя, потому что его и Глумова торопили ѣхать; Потѣева угнали въ лѣсъ; жена его между тѣмъ успѣла продать лошадь и долгушку Глумова... Жаловаться тоже было некому.

Корчагина и Глумова отправили изъ полиціи къ повѣренному съ казакомъ. Повѣренный заперъ ихъ въ темную комнату и послалъ нарочнаго въ заводъ, что дѣлать ему съ выпущенными изъ острога бѣглыми. Заводоуправленіе приказало повѣренному отправить ихъ немедленно связанными и представить прямо къ исправнику. Противъ этого протестовать было нельзя. Сказалъ Корчагинъ, что онъ и Глумовъ подадутъ прошеніе на Бакина, но повѣренный замѣтилъ, что онъ въ такомъ случаѣ будетъ хлопотать за Бакина.

Проѣхали улицы двѣ, почтарь развязалъ ихъ и повезъ къ Подкорытову, который угостилъ ихъ, сочинилъ имъ просьбу на Бакина и обѣщался хлопотать за Прасковью Игнатьевну, о которой въ городѣ не было никакого слуха.

Поѣхали. Ѣдутъ молча; отмалчиваются отъ почтаря. Въ головѣ Корчагина и Глумова такъ много было нехорошаго, что каждый изъ нихъ ничего не могъ высказать съ толкомъ, не могъ связать ни одной мысли. У каждаго было свое горе, и поэтому ихъ соображенія мѣнялись одно другимъ, и оба видѣли другъ въ другѣ не то, чтобы врага, а человѣка съ дурными наклонностями. Корчагинъ сердился на Глумова и никакъ не могъ придти къ тому заключенію, что Глумовъ нисколько не виноватъ. «Если бы я не поѣхалъ съ нимъ, то ничего бы не было: я ему говорилъ, чтобы онъ Курносову къ Потѣеву взялъ, а онъ не взялъ. На допросахъ показывалъ, что я золото продаю Бакину!» Глумову было досадно, зачѣмъ онъ взялъ съ собою Корчагина. Не будь съ нимъ Корчагина, онъ не просидѣлъ бы въ острогѣ чуть не мѣсяцъ. А для

него, торговаго человѣка, каждый день дорогъ. Корчагинъ—человѣкъ ремесленный: онъ какъ пріѣдетъ, тотчасъ примется за работу, а Глумовъ и лошади лишился. На чемъ онъ теперь станетъ возить въ городъ желѣзныя вещи? Но главное—его безпокоитъ то, что скажетъ его жена. Какъ онъ явится передъ ея свѣтлыя очи? Онъ напередъ зналъ, что она ему теперь покою не дастъ, потому что съ собою онъ ничего не везетъ. «Пропала моя головушка ни за грошъ! Пропала и торговля у Дашки, потому промѣны дѣлать нечѣмъ. И все это по милости Корчагина».

— Послушай, Корчагинъ: теперь я черезъ тебя и лошади, и телѣги лишился; ты это посуди,—проговорилъ онъ, не глядя на Корчагина.

— Самъ виноватъ,—сказалъ грубо Корчагинъ, не глядя на него.

— Слушай, што я тебѣ скажу: заплати мнѣ сорокъ рублей.

Корчагинъ промолчалъ.

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ.

— Жалуйся...

— Будь ты проклятое стругало!

Пріятели замолчали. Глумовъ негромко насвистывалъ, но боялся повидимому смотрѣть на Корчагина. Корчагинъ сталъ еще злѣе; ему не только не хотѣлось говорить съ Глумовымъ, но даже смотрѣть въ его спину. Онъ даже хотѣлъ крикнуть ему: «не свисти!» но языкъ точно присохъ.

Послѣ этой размолвки Корчагинъ и Глумовъ не разговаривали другъ съ другомъ во всю дорогу. Глумовъ на полдорогѣ отъ города къ заводу сознавалъ, что онъ напрасно обидѣлъ Корчагина, потому что Корчагина самого обидѣли: онъ потерялъ въ городѣ Курносову, съ которой онъ можетъ быть жилъ и на которой вѣроятно онъ хотѣлъ жениться, когда будетъ воля; у него отняли въ городѣ деньги. Онъ думалъ, что теперь Корчагинъ прекратитъ съ нимъ всякія дѣла и при случаѣ—«пожалуй скажетъ, што я дѣлаю серебряныя ложки... Вѣдь вотъ онъ не выдалъ меня, а я, дуракъ, выдалъ, што онъ Бакину золото продаетъ. За это его не потянули, потому что въ допросахъ это не включили; а скажи Корчагинъ про меня, меня бы обыскали. Онъ за золото чистыя денежки заплатилъ, а я на какія деньги лошадь ту пріобрѣлъ? А вѣдь при случаѣ Корчагинъ поможетъ мнѣ». Но сколько Глумовъ ни начиналъ заводить съ Корчагинымъ разговоръ, тотъ отмалчивался. Да и Корчагину не до разговоровъ было: его безпокоило то, что сдѣлалось съ Курносовой! Подкорытовъ говоритъ: не видалъ. А времени прошло много. Неужели она въ заводъ ушла?.. А, можетъ, она и служитъ у кого-нибудь... Ахъ! Господи праведный, помоги ты Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

Въ заводъ пріѣхали ночью. Пріятелей заперли въ полицію, въ одну комнату съ арестантами.

— Што новаго?—спрашивали арестованные. Глумовъ разсказалъ имъ все, что случилось съ ними. Корчагинъ молчалъ. Онъ исхудалъ и сдѣлался блѣднѣе прежняго.

— А мы думали, вамъ не миновать плетей.

— Да вотъ Васюха на меня разъерыжился, молчитъ, хоть ты какъ ни заговаривай съ нимъ. Послушай, Вася; вѣдь я такъ, сгоряча.

— Все равно! што сказано, то не воротишь.

— А развѣ мнѣ не обидно? Самъ ты это посуди, другъ.

— А! теперь такъ другъ... Нѣтъ, я не забуду...

— Постой, Корчагинъ!.. Это еще што, что васъ въ острогѣ морили... Здѣсь-то што творится,—сказалъ одинъ изъ арестованныхъ.

— Ты, Алексѣй, молчи: не растравляй его.

— А што?.. говорите, братцы,—сказалъ Корчагинъ такимъ голосомъ, точно онъ предчувствовалъ бѣду.

— А тебѣ придется вѣрно на фатерѣ пожить теперь?

— Какъ такъ?

— Да такъ. Твой-то домъ съ дымомъ улетѣлъ.

Корчагинъ поблѣднѣлъ и задрожалъ.—Што ты врешь?—крикнулъ онъ.

— На четвертый день, какъ ты уѣхалъ, и загорись въ фабричномъ порядкѣ у Платоновой, ну, такъ-таки пять избъ спалило.

Корчагинъ молчалъ.

— А мой-то домъ живъ ли?—спросилъ Глумовъ.

— Еще сто лѣтъ проживетъ. Не всѣмъ же горѣть. А важно, братъ, горѣло, что и подступиться было трудно. Извѣстно, строенье старое, сухое, дотронись—такъ пыль одна. Мы было думали: ну, прощай, фабрика! да хорошо, што вѣтеръ-то съ озера на гору дулъ, да и самъ знаешь, у насъ машины первый сортъ, не дали. И такъ дома четыре разрушили понапрасну.

— Отъ чего загорѣлось-то?—спросилъ Глумовъ.

— А Богъ ево знаетъ. Болтаютъ, отъ сажи будто, да вздоръ... Болтаютъ еще, што Варвару твою видѣли во дворѣ Платоновой; а она говоритъ, што ея овечку заперли во дворѣ Платоновой. Не разберешь.

— Гдѣ же сестра-то?

— Она теперь на Петровскомъ рудникѣ стряпухой. Болтаютъ, съ Подосеновымъ. А Бездониха отъ испугу померла... Только мать твою перетащили къ Вавилѣ Фомину.

На другой день Корчагина и Глумова выпустили изъ полиціи; Корчагинъ помирился съ Глумовымъ, но все-таки, говоря съ нимъ, глядѣлъ въ сторону.

— Ты, Корчагинъ, коли тамъ што плохо, приходи ко мнѣ, не откажу,—говорилъ на прощанье Глумовъ.

— Не откажу! Эка свинья!.. Вотъ што значитъ быть въ бѣдѣ: этотъ скотъ вчера обругалъ меня, денегъ спросилъ, а сегодня ужъ поддразниваетъ... Ты узнай напередъ: буду ли я еще тебѣ, подлецу, кланяться. Еще тебя-то пуститъ ли женушка!—И при этомъ Корчагинъ расхохотался.

Горе Корчагина было велико. Положимъ, что домъ строилъ не онъ, а его отецъ, но онъ къ этому дому такъ привыкъ, что ни за что бы не вышелъ изъ него, и хотя онъ находилъ, что онъ построенъ на старинный манеръ, но не тревожилъ

его старыхъ стѣнъ, потому что новый домъ строить не для чего, да и тогда всѣ старики заговорили бы, что Корчагинъ богачъ. Но и это, положимъ, ничего, а вотъ гдѣ теперь жить?

Еще не доходя саженъ пятьдесятъ до пепелища, онъ увидѣлъ, что вся фабричная улица налѣво загромождена досками и бревнами. По этому старью, отчасти уже прогнившему насквозь, можно было заключить, что дома въ этомъ порядкѣ построены очень давно. Въ двухъ мѣстахъ двое рабочихъ складываютъ бревна, вытаскиваютъ изъ досокъ гвозди. Они спорятъ.

— Нѣтъ, Пантелеевъ, эта доска моя.

— Ну, коли твоя, такъ хватай, чортъ те дери!

— Ты не ругайся: ты и такъ двумя лишними бревнами завладѣлъ.

— А ты-то, ты-то цѣлую стѣну стаскалъ во дворъ. Не помнятъ што ли, что на одномъ бревнѣ картинка отъ конфетъ была приклеена.

— Здорово, братцы!—сказалъ Корчагинъ.

— Ты што, убѣжалъ што ли изъ острога-то? Острожная сука!

— Выпустили...

— Разсказывай сказки-то. Вотъ по твоей милости до чего мы дожили!

— Развѣ я виноватъ?

— Вся ваша порода такая.

Корчагинъ пошелъ къ своему мѣсту.

— Куда?—закричалъ на него одинъ изъ рабочихъ.

— На свое мѣсто.

— Я тебѣ покажу свое мѣсто! Послѣ экова дѣла оно наше. Спроси свою-то сестрицу, зачѣмъ она Платоновскій домъ зажгла?

— Кто видѣлъ?

— У! чуча... острожная сука-а!

Осмотрѣлъ Корчагинъ пожарище: обгорѣлые столбы торчатъ, да печи цѣлы, грядны обгорѣли, посѣрѣли и сдѣлались тверды, какъ камень. Перебралъ онъ угли въ ямахъ, ничего нѣтъ; даже обгорѣлыхъ инструментовъ нѣтъ.

Зашелъ Корчагинъ съ горя въ кабакъ, выпилъ осьмушку въ долгъ и сталъ думать, что̀ ему дѣлать теперь. Придумалъ онъ справиться хорошенько насчетъ дома Игнатія Глумова; но тамъ приняли его сухо, и онъ не добился никакого толку. Оставалось хлопотать у начальства. Пошелъ онъ къ приказчику.

— Скажи пожалуйста, какимъ образомъ ты вхожъ къ Бакину?—спросилъ Корчагина приказчикъ.

Этотъ вопросъ озадачилъ Корчагина. Въ самомъ дѣлѣ: быть въ комнатахъ Бакина такому ничтожному человѣку, какъ Корчагинъ, много значило, и заводоуправленіе думало, что онъ, т. е. Корчагинъ, имѣетъ какія-нибудь вредныя дѣла противъ заводоуправленія.

— Видите ли, Финогенъ Степановичъ, я знакомъ въ городѣ съ мастеромъ Подкорытовымъ, а онъ вхожъ къ Бакину. Въ это время, какъ я пріѣхалъ къ Подкорытову, Подкорытовъ былъ нездоровъ и послалъ меня съ запиской за деньгами къ управляющему Бакина. Управляющій сказалъ мнѣ, что Бакинъ ему не говорилъ о деньгахъ; Подкорытовъ написалъ письмо къ самому Бакину.

— Не врешь, такъ правда... Мы это узнаемъ. А о какихъ ты деньгахъ, будто украденныхъ у тебя въ полиціи, говорилъ повѣренному?

— Я съ Бакина ничего не получилъ за то, что я высидѣлъ въ острогѣ. Вотъ поэтому я и хочу съ квартальныхъ взыскать двѣсти рублей... Сами посудите: дома нѣтъ, инструментовъ нѣтъ, у Глумова лошадь съ долгушкой украли. Онъ на меня сердится.

— Ты долженъ съ Бакина просить, а не съ полиціи, тѣмъ болѣе, что у тебя не было денегъ... Да! Тимошка Глумовъ показывалъ на допросахъ, что ты возилъ золото Бакину, и онъ купилъ у тебя на двѣсти рублей; а какъ ты разъ засталъ его съ дѣвкой, то онъ испугался и далъ тебѣ пощечину. Ты думаешь, я ничего не знаю? Ну-ко, что ты скажешь на это?

— Вы ужъ на этотъ счетъ пытайте самого Глумова, потому что онъ это сказалъ со злости. Онъ вчера еще просилъ у меня прощенія.

— А если я велю тебя пытать? Если я тебя турну въ максимовскіе рудники пѣшкомъ и велю тебя назначить въ самыя тяжелыя работы?! Мало этого, велю тебя, не принимая во вниманіе никакія твои оговорки, наказывать каждый день полегоньку, передъ обѣдомъ, этакъ по десяточку?! Что ты на это скажешь?—и приказчикъ скрестилъ на груди руки.

— Воля ваша. Вѣдь двухъ смертей не будетъ, а одной не миновать.

— Нѣтъ, я тебѣ покажу де-ся-ять смер-тей!!.

Минутъ пять приказчикъ ходилъ молча по комнатѣ, покуривая сигару.

— Ишь, выдумали возить золото въ городъ!.. Вы забыли, что у васъ есть приказчикъ... нѣтъ, чтобы подарить!—проговорилъ онъ медленно.

— Все это показывалъ Глумовъ со злости. Вѣдь извѣстно всѣмъ, что онъ дурачокъ.

Приказчикъ проходилъ изъ угла въ уголъ, молча, съ полчаса.

— Вотъ што, Корчагинъ: можешь ты достать мнѣ золота?—спросилъ онъ вдругъ.

— Не знаю.

— А чужимъ знаешь!—крикнулъ приказчикъ.— Я требую, и баста!

— Похлопочу пожалуй.

— Не пожалуй, а чтобы черезъ двѣ недѣли было хоть съ фунтъ.

Корчагину нельзя было отказываться: отказаться—значитъ навлечь на себя тяжкое наказаніе приказчика. Приказчикъ опять походилъ съ четверть часа и вдругъ спросилъ Корчагина.

— Такъ ты точно видѣлъ у Бакина дѣвку?

— Молодая, красивая... прелесть,—сказалъ Корчагинъ, ударяя въ слабую струну приказчика.

— Врешь?—сказалъ весело приказчикъ.

— Волоса и платье это... просто картина!

— Ахъ, будь онъ проклятъ!! Поди, никто не видитъ.

— Кромѣ жены повара, Марьи, что часы украла, никто не видитъ; а знать-то, я думаю, знаютъ.

— Удивительная вещь! изъ торгашей какіе тузы

сдѣлались. А ты корпишь, корпишь,—только непріятности однѣ.

Приказчикъ замолчалъ.

— Афиногенъ Степанычъ? — сказалъ вдругъ Корчагинъ.

Приказчикъ былъ занятъ чѣмъ-то. Онъ не отвѣчалъ минутъ пять. Остановившись у одного стола передъ зеркаломъ, онъ сталъ глядѣться въ зеркало.

Вошла Пелагея Семихина въ терновомъ платьѣ и въ сѣткѣ.

— Афиногенъ Степанычъ, обѣдать готово,—сказала она и пошла.

— Постой!—сказалъ ей приказчикъ.

Она остановилась.

— А что, Корчагинъ, которая лучше: Бакина или моя?

— Ваша несравненно лучше.

— Хоть бы вы при людяхъ-то не срамили меня,—сказала Пелагея.

— Ну, пошла на свое мѣсто!! А ты, Корчагинъ, иди на кухню, тамъ накормятъ.

— Афиногенъ Степанычъ! я хотѣлъ попросить васъ объ одномъ дѣлѣ.

— Ну?

— Послѣ смерти Игнатія Глумова остались два сына и дочь, теперь домомъ завладѣлъ Александръ Покидкинъ. Позвольте мнѣ въ этомъ домѣ жить; я имъ буду платить деньги за житье.

— Это дѣло исправника. А ты вотъ исполни мое приказаніе,—тогда посмотримъ.

Исправникъ послалъ Корчагина къ письмоводителю, а письмоводитель запросилъ двадцать пять рублей.

Корчагинъ находился въ такомъ положеніи, что не зналъ, какъ теперь ему жить. Насчетъ дома Игнатія Глумова онъ долженъ былъ отложить попеченіе, потому что искъ должны начать дѣти Глумова, а у нихъ на домъ не было никакихъ документовъ. Теперь у него нѣтъ инструментовъ, нѣтъ денегъ и лѣсу. Нужно призанять у почтмейстера или у кого-нибудь. А онъ хорошо зналъ, каково занимать: займешь рубль, да за этотъ рубль сработаешь кредитору на десять рублей и спасибо не получишь. Больше всего его огорчало поведеніе сестры, не потому, что она ушла на рудникъ и живетъ съ штейгеромъ, а ему много наговорили про нее. Его злило то, что она украла деньги, не приберегла его инструментовъ, которые онъ скапливалъ годами. Но опять и то еще можетъ быть, что она и не украла деньги и инструменты, а припрятала. Онъ пошелъ къ ней.

Въ рудничной избѣ, гдѣ обѣдали и спали рабочіе, Корчагинъ не засталъ сестры. Ему сказали, что она въ это время постоянно уходитъ къ штейгеру Подосенову. Корчагинъ присѣлъ. Половина рабочихъ сѣтовали, что они не наѣлись, проклинали Варвару и ложились спать, другіе жевали ржаной хлѣбъ, привезенный ими съ завода. Всѣ ругали Варвару, какъ только могли, на томъ основаніи, что дома у нихъ всегда исправно, а здѣсь, гдѣ женщина служитъ для нихъ за деньги, они не получаютъ ни хлѣба, ни щей, а все это идетъ въ пользу штейгера. Все это они старались какъ можно злѣе высказать Корчагину, который во всемъ соглашался съ рабочими. Но вотъ то, что Варвара хочетъ выйти замужъ за приказнаго Прохорова и строитъ въ запрудской сторонѣ домъ въ пять оконъ,—взбѣсило его.

Въ это время вошла въ избу Варвара Васильевна, пошатываясь. Отъ нея пахло водкой. Платокъ съ ея головы свалился, волосы растрепались, сарафанишко изодранъ.

Въ избѣ всѣ замолчали. Всѣ смотрѣли то на Корчагина, то на его сестру.

— Здорово живешь, сестричка!—сказалъ Корчагинъ ядовито. Многіе улыбнулись, но всѣ молчали.

Варвара Васильевна поглядѣла на брата сурово, толкнулась правымъ бокомъ о печку, заглянула въ печь и упала на полъ.

— Камедь!—проговорили нѣсколько человѣкъ.

Корчагина трясло отъ злости. Варвара Васильевна встала, какъ ни въ чемъ не бывало, подошла къ столу, отворила столешницу, потомъ пошла прочь. Корчагинъ подошелъ къ ней и ударилъ ее по щекѣ.

— Узнала ты меня?—крикнулъ онъ ей и взялъ ея обѣ руки въ свои.

— Каторжный!.. острожный!!. я тебѣ...—заголосила сестра и плюнула въ лицо Корчагина.

— Сестра! гдѣ деньги? — спросилъ Корчагинъ ласково.

— Деньги!.. тамъ!! та-а-мъ...—говорила его сестра, растягивая.

— Отрезвить бы ее.

— Окатить!..—галдѣли рабочіе, сжимая кулаки.

— Ты замужъ выходишь?—допрашивалъ ее Корчагинъ.

— И выйду!.. Домъ ему построю, потому деньги мнѣ бабушка благословила.

— Благословимъ же ее, братцы?!—кричали рабочіе.

— Покажемъ, какъ мѣнять насъ на Подосенова!—заговорили рабочіе и встали. Варвара завопила.

Одинъ рабочій принесъ охапку розогъ. Начали операцію надъ сестрой Корчагина. Корчагинъ сначала былъ доволенъ этимъ, но когда по его соображенію казалось, что Варвару довольно наказывать, то онъ никакъ не могъ удержать рабочихъ; они кричали:

— Ты деньги берешь! мы хлѣбъ свой носимъ! По твоей милости въ избѣ холодно. По твоей милости Степка, сынъ Курносова, околѣлъ...

Кончили. Варвара отрезвѣла и съ ревомъ выбѣжала изъ избы. Немного погодя, вошелъ Подосеновъ, худенькій, низенькій человѣкъ, лѣтъ сорока, съ свирѣпою физіономіей. На немъ былъ надѣтъ тиковый зеленаго цвѣта халатъ, полы котораго были заткнуты за опояску.

За нимъ шло трое рабочихъ, изъ которыхъ одинъ несъ охапку розогъ.

Подосеновъ назывался рабочими двумя именами—сморчкомъ и винной бочкой; какъ первое, такъ и другое названіе шло къ нему.

— Кто кухарку стегалъ? — крикнулъ Подосеновъ, оглядывая рабочихъ.

Всѣ молчатъ.

— Который тутъ братъ кухарки?

— Я,—сказалъ гордо Корчагинъ.

— Раздѣть!!.—крикнулъ штейгеръ, разводя руками.

Съ мѣста никто не тронулся.

— Ра-здѣть!!—крикнулъ во все горло штейгеръ и вцѣпился въ халатъ Корчагина.

— Руки коротки, — сказалъ Корчагинъ, толкнувъ штейгера такъ, что онъ ударился спиной въ печь.

— Ш-што?

— То, што я не подъ твоей командой состою,— проговорилъ Корчагинъ, передразнивая Подосенова.

— Я тебѣ покажу, покажу!

— Хорошъ онъ нонѣ?—спросилъ Корчагинъ рабочихъ.

— А вотъ мы поглядимъ...

— Долой Варвару!

— Не могу... Я... я ее вотъ какъ уважаю!

— Уважимъ!!!

И Подосенова выдрали. За операціей спрашивали его: будетъ ли онъ жаловаться. Онъ поклялся и сказалъ, одѣваясь, что онъ съ этихъ поръ уѣзжаетъ въ заводъ и выходитъ въ отставку.

— Въ послѣдній разъ вы меня дерете, ребята. Волю зачуяли, волю!!. Воля вамъ будетъ, ребята, только такого штейгера вамъ не найти, какъ я... Я всегда писалъ, что всѣ исправны, и по моимъ вѣдомостичкамъ выдавали деньги сполна.

— Не постягать ли ево сызнова?!

— Посмотрю я, какой будетъ новый штейгеръ.

— Поди къ... чорту!!

Подосенова выгнали изъ избы.

— Эй?! конецъ!! шабашъ! всѣ сюда?!—кричалъ штейгеръ неистово рабочимъ.

Въ полчаса въ избѣ собралось человѣкъ полтораста рабочихъ съ подростками и малолѣтними.

— Вы говорили... вы проклинали меня?.. Я не хорошъ!! Ребята??! Эхъ! ребята??? Меня заставляли!.. Мнѣ самому невтерпежъ было...

— Водку-то пить?..—ворчалъ народъ.

— Гуляйте! че-е-ерти!!!

И Подосеновъ, сѣвъ въ долгушку, уѣхалъ.

— Што онъ,—очумѣлъ!

— Съ ума спятилъ!—говорилъ народъ.

— Айда домой, ну ихъ къ чертямъ!

И рабочіе пошли домой.

Прошли десять верстъ; смотрятъ—лошадь и долгушка Подосенова стоитъ около лѣсу. Подосенова нѣтъ.

Двое зашли въ лѣсъ на правую сторону, походили въ лѣсу...

— Виситъ!

— Кто?

— Подосеновъ!!

Подосеновъ повѣсился.

Этому происшествію всѣ въ заводѣ долго дивились и единогласно заключили, что Подосеновъ изгибъ отъ пьянства... Но были люди, которые говорили, что Подосенова сильно допекалъ за что-то приказчикъ.

XXII.

У бѣднаго человѣка первая забота—о насущномъ кускѣ хлѣба и постоянное желаніе выйти изъ-подъ неволи; но какъ только бѣдный человѣкъ выбьется изъ нужды и попадетъ въ начальники, онъ круто повертываетъ отъ своихъ собратьевъ по ремеслу и старается подражать тѣмъ, кто прежде командовалъ надъ нимъ. Еще хуже, если этотъ человѣкъ изъ крѣпостныхъ, сынъ начальника, не испытавшій самъ горя. Таковъ былъ и Переплетчиковъ. Прежде, когда онъ былъ побѣднѣе, одѣвался просто— разговаривалъ съ рабочими и принималъ участіе въ ихъ положеніи; потомъ мало-по-малу онъ сталъ отдаляться отъ своихъ заводчанъ: одѣвался, какъ городской франтъ, окружалъ себя толпой ненужной ему прислуги и смотрѣлъ свысока на всѣхъ. Вмѣсто одноэтажнаго деревяннаго дома онъ выстроилъ двухъ-этажный каменный, въ двѣнадцать оконъ на улицу. Внутренность дома отличалась всѣми неудобствами и роскошью первогильдейскаго купца; полы паркетные, мебель дубовая, вездѣ цвѣты, въ окнахъ и дверяхъ драпри, на стѣнахъ картины, преимущественно соблазнительнаго свойства, на столахъ мраморныя статуи, въ залѣ стоитъ мраморный бюстъ перваго заводовладѣльца подъ стеклянныимъ колпакомъ, въ кабинетѣ на столахъ и въ шкафу лежатъ рѣзные камни, въ клѣткахъ распѣваютъ соловьи и канарейки. Вмѣсто огорода у него явился большой садъ съ прудомъ, въ которомъ водятся караси, ерши и окуни, ловить которыхъ можетъ только самъ приказчикъ да управляющій. Въ этомъ саду разъ въ годъ, а имѣнно въ Троицу, дозволяется гулять рабочимъ и слушать даромъ заводскую музыку.

Приказчикъ Переплетчиковъ въ настоящее время вдовъ, дочери его съ нимъ не живутъ. Для чего же, спроситъ читатель, онъ имѣетъ такой домъ; неужели онъ одинъ занимаетъ его? Верхній этажъ занимаетъ онъ одинъ; половину нижняго занимаетъ его канцелярія, при которой есть даже клѣтка для виноватыхъ, а другую занимаетъ его прислуга. Стараясь во всемъ пародировать большихъ баръ и не желая отказывать себѣ ни въ чемъ, онъ имѣетъ прислугу, какъ помѣщикъ: у него есть дворникъ, кучеръ, садовникъ, лакей, экономка, горничная, прачка и кухарка. Всѣмъ этимъ людямъ онъ ничего не платитъ, потому что они заводскіе. Хотѣлось еще ему завести повара, да въ заводѣ не было такихъ рабочихъ, которые бы умѣли готовить кушанье по карточкѣ, а нанимать въ городѣ повара онъ не хотѣлъ.

Прежде всѣмъ хозяйствомъ заправляла жена Переплетчикова и дочь его Марья Афиногеновна. Когда умерла его жена и дочь вышла замужъ за нарядчика Плотникова, тогда хозяйство стала вести двоюродная сестра его жены, вдова Марья Алексѣевна, бывшая замужемъ за чиновникомъ. Говорятъ, что Переплетчиковъ и при жизни жены ухаживалъ за ней, а послѣ сталъ открыто жить съ Марьей Алексѣевной, обѣщаясь жениться на ней. Марья Алексѣевна была глупая женщина, читавшая по складамъ и умѣвшая

кое-какъ записывать цифры. Она совалась всюду, весь день грызла прислугу, ругалась, какъ базарная торговка, требовала отъ каждаго почтенія на томъ основаніи, что она дворянка; но ее никто не боялся, вѣроятно потому, что Переплетчиковъ не рѣдко бивалъ ее, теребилъ за волосы, приговаривая: «я тебѣ, шкурѣ барабанной, покажу дворянство!». Однако, несмотря на то, что во время обѣдовъ и баловъ, даваемыхъ Переплетчиковымъ, она лѣзла къ заводскимъ аристократамъ съ разговорами о своихъ снахъ и о непочтеніи къ ней прислуги; несмотря на забывчивость такого рода, что, держа въ лѣвой рукѣ платокъ, она искала этотъ платокъ, билась, бѣгала изъ угла въ уголъ, называя всѣхъ ворами и воровками; несмотря на то, что надъ ней въ глаза смѣялись заводскія барышни, — она была не прочь порисоваться: любила вырядиться, нарумяниться и выставить себя на показъ при всякомъ удобномъ случаѣ; и женщина была не промахъ: безъ зазрѣнія совѣсти она вытаскивала изъ кармановъ приказчика деньги, когда онъ являлся домой пьяный. Это она называла сбереженіемъ на черный день...

Переплетчиковъ—и пьяный, и трезвый — потѣшался надъ ней вдоволь, но сдѣлать ей ничего не могъ. Онъ ото всѣхъ требовалъ повиновенія, а Марья Алексѣевна его не слушалась. Это бѣсило его: «Какъ? меня всѣ боятся! а эта бабенка и знать меня не хочетъ; я могу уничтожить ее, а она командуетъ надо мной?.. Сокрушу!» горячился онъ и рѣшилъ постегать ее, но случая къ этому не представлялось. Марья Алексѣевна прятала концы въ воду очень ловко. Золъ сдѣлался Переплетчиковъ, надоѣла ему Марья Алексѣевна. «Прогоню!» думалъ онъ. «Нѣтъ, я ее напередъ выдеру»...—и эта мысль еще больше раздражала его. Разъ онъ пріѣхалъ откуда-то ранѣе обыкновеннаго. Марья Алексѣевна ругалась въ кухнѣ. Дверь въ кабинетъ Переплетчиковъ въ этотъ день забылъ запереть, но находящаяся въ кабинетѣ шкатулка съ банковыми билетами и деньгами всегда запиралась, и онъ первымъ долгомъ, какъ возвращался домой трезвый, подходилъ къ шкатулкѣ, отпиралъ ее и считалъ деньги. Теперь, спохватившись, что кабинетъ не запертъ, онъ кинулся къ шкатулкѣ—замокъ сломанъ. «А! ладно», сказалъ вслухъ Переплетчиковъ. Стали обѣдать.

— Теперь што? — спросилъ приказчикъ лакея, подававшаго второе блюдо.

— Катлеты-съ.

— Позови, каналья, кучера и садовника, а Пантелею вели принести изъ саду свѣжихъ котлетъ. Понимаешь? Живо!

Марья Алексѣевна думала, что вѣроятно Переплетчиковъ будетъ потѣшаться за обѣдомъ надъ тѣмъ, какъ лакея будутъ наказывать,—что и случалось прежде.

Вошелъ кучеръ, толстый человѣкъ, съ лысой головой и русой большой бородой, и молодой дюжій садовникъ. Остановились они у дверей и ждали съ нетерпѣніемъ приказанія своего барина. Переплетчиковъ велѣлъ принести изъ комнаты Марьи Алексѣевны сундукъ, а самъ принесъ изъ кабинета на сцену шкатулку. Марья Алексѣевна поблѣднѣла. Все это дѣлалось молча.

— Топоръ!—сказалъ Переплетчиковъ.

Немного погодя, былъ принесенъ топоръ. Переплетчиковъ разломалъ шкатулку: въ ней не оказалось десяти сторублевыхъ бумажекъ; разломали сундукъ Марьи Алексѣевны: оказалось много вещей, принадлежащихъ Переплетчикову.

— Пантелей!—крикнулъ Переплетчиковъ.

Явился дворникъ Пантелей, сухощавый человѣкъ, съ сѣдыми кудреватыми волосами и безъ бороды. Въ охапкѣ онъ держалъ пучокъ розогъ.

— Взять ее!—крикнулъ приказчикъ, показывая на Марью Алексѣевну.

Какъ ни кричала, какъ ни отбивалась Марья Алексѣевна, а ее все-таки постегали, и постегали на славу.

— Узнала ли ты свое дворянство? — спросилъ Переплетчиковъ, когда перестали сѣчь Марью Алексѣевну.

— Я на тебя, подлецъ, жалобу подамъ.

— Вотъ испужала-то!

И Марью Алексѣевну вытолкали изъ дома приказчика. Жаловаться она не посмѣла, потому что приказчикъ подозрѣвалъ ее въ отравленіи его жены.

Переплетчиковъ былъ женатъ три раза. Первая жена у него была красавица, и изъ-за нея онъ получилъ должность казначея главной конторы, такъ какъ она жила съ управляющимъ, о чемъ зналъ Переплетчиковъ. Съ начала супружества онъ любилъ ее, какъ слѣдуетъ, но потомъ связался съ другой женщиной, на которой потомъ и женился. Но эту женщину онъ не могъ любить такъ, какъ любилъ первую, билъ ее и вколотилъ въ гробъ. Третья жена хотя и принесла ему много въ приданое, но была женщина больная, и онъ оказывалъ больше предпочтенія Марьѣ Алексѣевнѣ.

Прогналъ онъ Марью Алексѣевну, но скоро спохватился: изъ всѣхъ трехъ женъ ни одна такъ не угождала ему, какъ эта чиновница. Правда, она и ругала его, била, но зато все у нея было въ порядкѣ, все она дѣлала по его. — «Ты ругайся, да дѣлай, какъ я велю». Повиновеніе жены Переплетчиковъ считалъ идеаломъ добродѣтели.

Послѣ Марьи Алексѣевны ему сдѣлалось скучно. Онъ могъ бы выбрать себѣ въ любовницы любую дѣвушку; но кого выберешь? Чиновницъ ему больше не надо; не надо ему и грамотныхъ. Ему нужна красавица, неучъ, такая, которая бы и пикнуть не смѣла передъ нимъ. И сколько онъ ни высматривалъ подходящихъ, не находилъ ни въ городѣ, ни въ заводахъ.

Но вотъ однажды докладываетъ лакей, что пришла къ нему съ просьбой Пелагея Семихина. Онъ вышелъ въ пріемную, взглянулъ—и остолбенѣлъ.

Это была высокая, здоровая дѣвушка, лѣтъ двадцати трехъ, съ очень красивымъ лицомъ и голубыми глазами. На головѣ ея, съ причесанными по-городски волосами, надѣтъ былъ красный ситцевый платокъ, на ней самой ситцевый сарафанъ. На лицѣ замѣтно выраженіе грусти, въ глазахъ замѣтна робость и покорность.

Такой красавицы Переплетчиковъ еще не виды-

валъ, и онъ невольно поклонился ей и спросилъ ее ласково:

— Что скажешь?

— Афиногенъ Степанычъ, отецъ мой умеръ, а провьянту мнѣ не даютъ.

— Не положено. А мать есть?

— Нѣтъ.

— Домъ есть?

— Есть.

— И женихъ есть?

— Сватается писарь Зюзинъ.

— Знаю. Вѣдь онъ пьяница и картежникъ? Ты это знаешь ли?

— Слыхала, Афиногенъ Степанычъ.

Семихина вздохнула.

— Что жъ ты по любви идешь за него?

— Не... знаю... Нужда...

— То-то вы дуры! Учить васъ некому. А я бы совѣтовалъ тебѣ бросить эту фанаберію, потому... Я знаю, что за пособіемъ послалъ тебя Зюзинъ... Такъ?

— Нѣ...ѣтъ.

— Ладно. Вотъ тебѣ десять рублей.

Приказчикъ далъ Семихиной десять рублей. Семихина поклонилась ему въ ноги.

Вечеромъ въ тотъ же день приказчикъ потребовалъ къ себѣ Зюзина; Зюзина притащили къ нему изъ кабака. Онъ былъ такъ пьянъ, что едва держался на ногахъ, поэтому приказчикъ велѣлъ запереть его въ своей чижовкѣ и послалъ за Семихиной.

— Что, голубушка, поди, всѣ деньги ухнула?

— Всѣ: долги заплатила.

— И женишку дала малую толику. Гдѣ же онъ теперь—въ кабакѣ?

— Не знаю.

Приказчикъ крикнулъ лакея и велѣлъ отвести Семихину въ чижовку къ ея жениху.

Семихина ахнула, потому что Зюзинъ спалъ пьяный, на полу лежала разорванная трехрублевая ассигнація.

— Проси прощенія у приказчика! онъ все знаетъ,—сказалъ лакей Семихиной.

На другой день вечеромъ приказчикъ позвалъ къ себѣ Пелагею Семихину. Она кинулась ему въ ноги и стала просить прощенія.

— Хорошо. Что жъ скоро свадьба?

— Я не пойду за него.

— Что такъ?

— Пьяница. Онъ всѣ деньги проигралъ.

Она говорила уже свободно, потому что была не изъ робкаго десятка, да и приказчикъ говорилъ съ ней ласково.

Онъ опять далъ ей три рубля и черезъ два дня позвалъ къ себѣ. Ее ввели въ столовую, гдѣ онъ ужиналъ.

— Ну, красотка, что ты подѣлываешь?

— Мнѣ... я сидѣла... шила.

— Для своего жениха-пьянчуги... Вотъ что: хочешь служить у меня?

Семихина поклонилась.

— Съ завтрашняго дня тебѣ будетъ дѣло. Хочешь ѣсть?

— Нѣтъ.

— Врешь! садись.

— Покорно благодаримъ.

Однако Переплетчиковъ уговорилъ ее сѣсть; подвинулъ стулъ къ ней, налилъ ей рюмку мадеры.

— Пей, красотка! — сказалъ приказчикъ негромко и поднесъ ей рюмку.

— Покорно благо...дарю,—сказала Семихина и покраснѣла.

— Ну—ну!

Пелагея выпила, отерла губы платкомъ, а Переплетчиковъ обнялъ ее. Пелагея взвизгнула, но Переплетчиковъ цѣловалъ ее.

— Пустите! пустите!—кричала Пелагея; но приказчикъ держалъ ее крѣпко.

Вдругъ онъ выпустилъ ее и пересѣлъ на другой стулъ. Пелагея вскочила и побѣжала къ двери.

— Куда?

Пелагея, не слушая его, убѣжала; но выхода изъ комнатъ Переплетчикова не могла найти. Приказчикъ пошелъ искать ее. Въ одной изъ комнатъ Пелагея стояла и плакала.

— О чемъ ты, дѣвка, плачешь? о чемъ ты слезы льешь?—сказалъ шутливо приказчикъ.

— Пустите меня, ради Христа, — проговорила едва слышно Пелагея.

— На это вашей милости я могу только то отвѣтить, что вы дуры-съ набитыя, потому единственно, что я тебя хотѣлъ испытать.

— Вотъ ужъ!

— Право, красотка моя, неписаная. Что же ты стоишь, невесело глядишь? Аль Зюзина боишься?

Пелагея замолчала.

— Пойдемъ ужинать,—и приказчикъ взялъ ее за руку.

Пелагея стала отбиваться, но приказчикъ поцѣловалъ ее, выпустилъ и позвалъ лакея.

— Проводи ее. Знаешь? — Да не гляди такъ. Ужинъ и вино чтобы были... Понимаешь.

Пелагея пошла за лакеемъ, который свелъ ее внизъ въ совершенно отдѣльную комнату и эту комнату заперъ на ключъ, который и отдалъ приказчику. Изъ комнатъ Переплетчикова было четыре хода: одинъ парадный, который велъ на улицу и въ его канцелярію, другой въ кухню — черный, третій въ баню, четвертый въ отдѣльную комнату. Эта комната была сдѣлана для матери Переплетчикова, которая любила уединеніе или, короче сказать, *спасалась* въ ней, а послѣ ея смерти эта комната оставалась никѣмъ незанятою.

Утромъ Пелагея Вавиловна, сидя на мягкой перинѣ, положенной на спальную кровать, завѣшанную пологомъ, плакала. Переплетчиковъ сидѣлъ около нея.

— Пустите ли вы меня?—крикнула Пелагея.

— Воля твоя! Иди. Только не лучше ли тебѣ у меня остаться: ты будешь барыня, ни въ чемъ я тебѣ не буду отказывать. Только ты будь хороша да ласкова... Ты думаешь, я тебя обидѣть хочу! Дура! Если ты будешь хороша, я женюсь на тебѣ, только ты умѣй угодить и потрафить мнѣ.

Пелагея Вавиловна слушала и молчала. Когда

онъ кончилъ, она не знала, что ему сказать; въ головѣ ея бродили неясныя слова; «приказч... убѣ... хочетъ жениться»...

Приказчикъ ушелъ и заперъ дверь на ключъ. Пелагея опять заплакала. Ее давило горе; но когда она выплакалась, то ей противна показалась прежняя жизнь: прежде ее били, упрекали, смѣялись надъ тѣмъ, что она подолгу расчесываетъ свои длинные волосы, — теперь самъ приказчикъ лелѣетъ ее... «А если онъ... такъ развѣ не было съ ней того же зимой, когда она была съ отцомъ въ хлыстовщинской сектѣ... Онъ самъ приказчикъ, а Зюзинъ писарь, некрасивый, пьянюга и батракъ; въ полиціи не одинъ разъ драли... Только стыдно... стыдно»...

Вошелъ лакей.

— Афиногенъ Степанычъ приказалъ позвать васъ наверхъ,—сказалъ лакей Пелагеѣ.

Пелагея наскоро одѣлась и пошла.

— Сегодня истоплена баня: ступай вымойся; отъ тебя какъ отъ псины пахнетъ, а потомъ я тебѣ дамъ женины вещи. Не могу же я смотрѣть на тебя въ такой одеждѣ.

Весь этотъ день Пелагея Вавиловна провела въ нѣгѣ. На другой день началась служба ея: приказчикъ, уходя въ свои комнаты, сказалъ ей, чтобы она завтра утромъ пришла къ нему за приказаніями. Когда она пришла, приказчикъ уже занимался и велѣлъ ей достать изъ комода чистое бѣлье, потомъ принести съ водой умывальникъ. Нужно было идти въ кухню, а Пелагеѣ не хотѣлось—стыдно. Однако пошла.

Прислуга, бывшая въ кухнѣ, косо поглядѣла на нее, переглянулась, а кухарка сказала:

— Съ законнымъ бракомъ!

Всѣ захохотали. Лицо Пелагеи Вавиловны зардѣлось.

— Скоро, дѣвушка, тебя въ барыни-то произвели... Вотъ мы такъ не можемъ до такой чести дожиться,—сказалъ кучеръ.

Всѣ захохотали. Пелагея Вавиловна вспыхнула и, поставивъ на скамью умывальникъ съ тазомъ, ушла наверхъ.

— Что ты?—спросилъ приказчикъ Пелагею Вавиловну, видя, что она плачетъ.

— Обзываются.

Переплетчиковъ позвонилъ. Пришелъ лакей.

— Позови-ко сюда Пантелея.

Явился дворникъ.

— Вы, скоты, какъ смѣете обзывать ее?.. Да я васъ всѣхъ перепорю—мошенниковъ.

— Мы ничего...

— Я тебѣ дамъ ничего! Скажи всѣмъ, что если я еще что-нибудь услышу отъ нея, не только что перепорю васъ, прогоню, въ работы сошлю. Пошелъ!

Прошло дня четыре. Прислуга при входѣ Пелагеи Вавиловны въ кухню шепталась, а молодые люди старались подскочить къ ней и, подмигивая товарищамъ, спрашивали ее:

— Чего изволите, барышня?

— Какое на васъ платьице нарядное, — замѣчалъ другой.

Пелагея Вавиловна вспыхивала, но молчала и глядѣла въ полъ. Идти въ кухню было для нея пыткой, и она старалась какъ-нибудь уговорить лакея, чтобы онъ замѣнилъ ее. А работы у Пелагеи Вавиловны было немного: она мыла чайную посуду, разливала чай, чему она научилась съ трудомъ, гладила бѣлье.

Прошло три недѣли. Приказчикъ съ ней ласковъ, прислуга не такъ надоѣдаетъ, какъ прежде.

Въ пятницу вечеромъ у приказчика были гости: исправникъ, письмоводитель его и зять Плошкинъ— съ женами. Приказчикъ заставилъ Пелагею подавать гостямъ чай. Мужчины сидѣли въ залѣ, женщины въ гостиной.

— А что, какова? — спросилъ Переплетчиковъ исправника, когда Пелагея брала отъ исправника стаканъ.

— Недурна.

Пелагеѣ Вавиловнѣ сдѣлалось обидно, зачѣмъ приказчикъ хвастается ею и стыдитъ. Когда она вошла съ подносомъ къ дамамъ, растягивающимъ слова по-заводски, то исправничья жена спросила ее:

— Ты на содержаніи?

Пелагея Вавиловна не поняла этого слова.

— Что жъ ты стоишь?—спросила опять жена исправника.

— Чашку...

— Ахъ ты, дура... Да ты развѣ не городская?

— Нѣтъ.

Пелагею позвалъ приказчикъ.

Исправникъ, Плошкинъ, письмоводитель и приказчикъ о чемъ-то крупно спорили.

Приказчикъ съ исправникомъ жилъ дружно и нисколько не боялся его, потому что могъ во всякое время подкупить его; письмоводителя онъ считалъ ни за что, но приглашалъ къ себѣ, какъ родственника.

— Не бывать! Не бывать!—кричалъ приказчикъ.

— Будетъ! Тогда ужъ вашему брату отпадетъ лафа!—горячился исправникъ.

— А ты думаешь, вашего брата не погонятъ метлой!

— Не только не погонятъ, мы строже будемъ.

— На-ко выкуси! — и приказчикъ показалъ исправнику кукишъ.

Завязался споръ; каждый считалъ себя честнѣе другого, стали корить другъ друга.

— Ты за Павленковское дѣло сколько получилъ, а что дѣлалъ-то?—кричалъ приказчикъ.

— А ты какъ фабрику-то строилъ?

— Вы начальство, какъ можно... Вы рабочихъ давите,—вмѣшался письмоводитель.

— Чѣмъ?

— Напримѣръ Глумовское семейство... Кому оно обязано...

— Да что вы меня, скоты эдакіе, Глумовыми дразните, чтобъ вамъ всѣмъ околѣть!

Однако скоро затихли. Подали закуску, вина и водку. За водкой опять стали корить другъ друга, опять помянули Игнатья Глумова и Курносова; отъ нихъ рѣчь перешла ко многимъ обиженнымъ приказчикомъ, который свирѣпѣлъ. Гости, не помирившись съ приказчикомъ, ушли по домамъ.

Когда они ушли, приказчикъ долго ходилъ по комнатамъ и ворчалъ.

«Вы думаете, я боюсь васъ?.. А вотъ я вамъ докажу, что я на васъ на всѣхъ плевать хочу! Вы мнѣ напередъ долги заплатите, а потомъ тащите меня подъ судъ... А хоть я и строгъ, зато и милостивъ и доброе дѣло сдѣлаю, не испугаюсь... У васъ есть свои шпіоны, а я заведу своихъ»...

Утромъ на другой день Переплетчиковъ потребовалъ къ себѣ своего письмоводителя и отдалъ такой приказъ: — принеси мнѣ списокъ дѣтей Семихина, Ильина, Глумова, Мокѣева.

Когда списокъ былъ принесенъ, приказчикъ написалъ на немъ: зачислить въ легкія работы на фабрики, выдавать провіантъ сполна да пенсіи на каждаго по пуду въ мѣсяцъ. Доложили ему, что явился Корчагинъ. Онъ велѣлъ провести Корчагина въ кабинетъ.

— Ну что, другъ сердечный, тараканъ запечный? Много ли ты нашелъ золота?

— Двѣ недѣли, Афиногенъ Степанычъ, пробылъ на промыслахъ. Порядки нонѣ совсѣмъ другіе. Всего только полфунта, и то въ долгъ рабочіе повѣрили.

Приказчикъ взялъ золото, поглядѣлъ и сказалъ:

— Вотъ это вѣрнѣе будетъ. Можешь нарубить пятьдесятъ бревенъ для дому.

И приказчикъ далъ Корчагину записку.

— А что, Корчагинъ, Илья Глумовъ хорошій парень, не воръ?

— Да.

— Грамотѣ умѣетъ?

— Плохо...

— Ну, это ничего... Такъ возьми, почини садокъ.

Корчагинъ вышелъ не совсѣмъ довольный приказчикомъ, но зато избавлялся отъ тяжелыхъ наказаній.

По уходѣ его приказчикъ позвалъ къ себѣ своего письмоводителя и, подавая ему списокъ подростковъ, сказалъ:

— Гришкѣ Пономареву, что у меня въ лакеяхъ, я даю вольготы на полгода, потомъ записать его въ кузницу, а Ильку Глумова записать ко мнѣ. Понимаешь... Завтра же быть ему здѣсь.

XXIII.

Изъ предыдущихъ главъ читатель, можетъ быть, заключилъ о приказчикѣ, что онъ человѣкъ, рѣшительно ничего не дѣлающій, а только распоряжающійся на словахъ. Да и когда, подумаетъ читатель, заниматься ему, если онъ проводилъ все время въ удовольствіяхъ. Того же мнѣнія былъ сперва и Илья Игнатьичъ, который въ кабинетъ приказчика допускался очень рѣдко. А Пелагея Вавиловна знала, что приказчикъ дѣятельно работалъ, и знала это потому, что она стала довѣренной его особой: часто по его приказанію она сидѣла въ кабинетѣ, чего не осмѣливался сдѣлать никто, даже покойная его жена. Сидѣла она въ кабинетѣ вотъ почему: приказчикъ, занимаясь сочиненіемъ бумагъ, счетами, планами, не любилъ вставать съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не окончитъ работу, и Пелагея Вавиловна должна была подавать ему то книгу, то упавшую бумагу съ полу, то закурить сигару, то почесать спину или ногу... Пьяный онъ бивалъ и Глумова, и Пелагею Вавиловну, и поэтому Илья Игнатьичъ радъ не радъ былъ улизнуть въ прихожую и захрапѣть, но Пелагеѣ Вавиловнѣ много было возни съ приказчикомъ. Приходя въ кабинетъ (приказчикъ, пріѣзжая откуда бы ни было, всегда прямо проходилъ въ кабинетъ) и бросивъ на столъ бумаги, онъ садился въ кресло и ругалъ тѣхъ, у кого и гдѣ онъ былъ,—преимущественно начальство.

— Кто,—говорилъ онъ,—кромѣ меня есть сила? Я командиръ—я всѣмъ орудую! Не будь рабочихъ, не будь меня, не было бы и васъ, скотовъ; не нажили бы заводовладѣльцы милліоновъ, не строили бы въ Россіи и за границей дворцы себѣ... Вамъ денежки подай, а мы работай, а отъ васъ што получаешь? того и бойся, што къ чертямъ пошлютъ... Вы насъ за скотовъ считаете,—хуже!.. Грабить васъ нужно...

Пелагея Вавиловна, слушая эти слова, думала: «хорошо, если бы ты эти рѣчи говорилъ трезвый: завтра почнешь рабочихъ обижать да наживать деньги плутнями да обидами»... Она уже не одинъ разъ слушала эти слова и имѣла уже понятіе, почему онъ такъ обращается съ *мастерками* (т. е. рабочими). Разсуждали о заводовладѣльцахъ и гости приказчика, слыхала она споры о томъ, отъ кого пуще достается народу,—но дѣлала видъ, что ничего этого не понимала. Разъ приказчикъ спросилъ ее: умѣетъ ли она читать?—Нѣтъ, не умѣю.—Онъ ее сталъ учить, но она ничего не понимала: приказчикъ наказалъ ее розгами за непониманіе, но и розги не помогли. Призванъ былъ къ приказчику дядя ея и тайно спрошенъ: не знаетъ ли онъ, кто пишетъ Пелагеѣ Семихиной письма; но къ счастью Пелагеи дядя ея сказалъ:—кажись, Пелагею никто не училъ грамотѣ, разѣ у васъ выучилась.

— Сними со стѣны образъ, — сказалъ приказчикъ.

Дядя Пелагеи принялъ на себя страшную клятву. Онъ снялъ образъ, приложился къ стеклу и повѣсилъ. И приказчикъ остался доволенъ. Впрочемъ онъ напрасно безпокоился: Пелагея хотя и умѣла читать писаное, но никогда не трогала бумагъ и была такой человѣкъ, которому все равно, есть или нѣтъ книги, бумаги, перья и карандаши, да и записывать ей нечего было.

— Палашка! — крикнетъ приказчикъ. Пелагея войдетъ.

— Сказано—стоять! што я дуракъ по-твоему?

— Дуракъ.

— Почему?

— Потому, не умѣешь заставить управляющаго въ ноги тебѣ кланяться...

— Молодецъ, дѣвка! Ей-Богу, женюсь! цѣлуй меня...

— А разѣ я не плутъ?

— Первая шельма во всемъ свѣтѣ, а все жъ съ господами на одну доску не поставятъ.

— Аминь! цѣлуй меня, скотина; ноги мои лижи... Озолочу!.. А шельма я, у—какой! Я управляющаго, эту пустомелю, въ ногахъ заставлялъ валяться, а ты все-таки должна мои ноги лизать.

. . . . . .

Уложитъ Пелагея Вавиловна спать приказчика и сама ляжетъ, какъ ей велѣно лечь: на полъ, или вмѣстѣ съ приказчикомъ, или въ креслѣ. Въ пять часовъ она должна будить его. Проснувшись, приказчикъ выпьетъ графинъ воды и принимается за работу, которая продолжалась до девяти или десяти часовъ. Пелагеѣ было строго наказано, чтобы объ его занятіяхъ никому не говорить; во время занятій, за которыми онъ выпивалъ еще два графина воды, никто кромѣ Пелагеи не смѣлъ входить въ его кабинетъ. Если у приказчика мало было письменныхъ занятій, то онъ, лежа, читалъ бумаги и письма. Если онъ когда-нибудь не выѣзжалъ изъ дома, это значило, что онъ занимался важными дѣлами, и тогда только одна Пелагея входила къ нему по звонку.

Илья Игнатьичъ думалъ, что приказчикъ забываетъ, что̀ говоритъ по вечерамъ пьяный. Но приказчикъ могъ разсказать все, что̀ онъ говорилъ и что̀ ему говорили пьяному; но никогда не высказывалъ этого никому, и только одна Пелагея сумѣла подмѣтить въ немъ эту черту, и какъ онъ ни притворялся непомнящимъ, но она хорошо понимала, что приказчикъ любитъ не лесть и поклоны, а чтобы его приказанія тотчасъ же исполнялись. Если онъ сказалъ «лижи мои ноги», она должна была лизать, иначе это ослушаніе чрезъ день или чрезъ недѣлю припомнится ей; а такъ какъ она ни въ чемъ не ослушалась приказчика, то онъ сначала дивился терпѣнію этой дѣвки и ждалъ случая, когда она сгрубитъ ему. Но Пелагея хотя и ругалась, но ругалась такъ, что приказчикъ не считалъ эту ругань за грубость. Приказчикъ на разные лады испытывалъ Пелагею, но ничего не нашелъ въ ней худого и разъ трезвый сказалъ ей за утреннимъ чаемъ:

— Если бъ ты не была мерзавка, хорошая ты была бы дѣвка.

— А кто виноватъ-то: не ваша ли свѣтлость... Кто говорилъ: женюсь?

— Мало ли что говорится. Говорится, што земля вертится, да я не вѣрю... Скажу тебѣ откровенно: ты золотая дѣвка, и мнѣ правится, што ты съ такимъ человѣкомъ, какъ я, умѣешь ладить.

— Чортъ съ вами сладитъ!

— И чортъ со мной не сладитъ, а ты тово... За это я тебя жалую въ экономки, потому ты теперь при гостяхъ безгласна. Да ты смотри, вотъ што: за тобой будутъ ухаживать, такъ ты не отказывайся, приглашай ихъ къ себѣ да испытывай, што я тебѣ скажу. Это важно!

Пелагея Вавиловна долго не соглашалась на послѣднее предложеніе и доказывала приказчику, что ему враговъ нечего бояться.

— Теперь такъ, а какъ будетъ воля—другіе порядки будутъ,—сказалъ приказчикъ.

— Пугаютъ васъ этой волей...

— А я, думаешь, не знаю, што ты и всѣ рабочіе вздыхаютъ по волѣ. Нѣтъ, дѣвка, я человѣкъ старый и чувствую, што мнѣ не сдобровать. Я люблю командовать, держать въ рукахъ начальство... Да не тѣ времена... Вотъ у меня враговъ много, а сокрушить ихъ я не воленъ. Значитъ, наступаютъ другіе порядки, и бѣдный смотри въ оба и берегись.

— Да какъ же беречься-то, когда мастерку нѣтъ пощады, мастерка безъ вины обвиняютъ,— вступилась Пелагея Вавиловна.

— А съ нами этого развѣ не бываетъ: попадись я—меня не помилуютъ, если я не имѣю десяти тысячъ. Имѣй я пятьсотъ рублей или будь я честенъ, мнѣ недѣли не пробыть приказчикомъ. Все это я говорю тебѣ потому, что ты одна умѣешь угождать мнѣ. Но горе тебѣ, если ты хоть одно мое слово кому-нибудь проболтаешь.

Около этого времени приказчикъ крѣпко задумалъ жениться; но куда онъ ни приходилъ высматривать невѣстъ, ни одна ему не нравилась. «Не прежніе годы, когда я былъ молодъ, да вѣровалъ, что жена по нраву всю жизнь будетъ. Всѣ эти длиннохвостыя да блѣднолицыя—дрянь; ни одна изъ нихъ не годится мнѣ въ жены; всѣ онѣ рады случаю выйти за приказчика, а вотъ я ихъ удивлю». И выборъ его остановился на Пелагеѣ, которою онъ могъ помыкать, какъ его милости угодно. Но онъ не любилъ никому высказывать своихъ секретовъ, потому что предположенія его мѣнялись другими на другой день, когда онъ былъ трезвый, да и секреты, высказанные кому-нибудь, могли бы пожалуй испортить все дѣло. Несмотря на скрытое обращеніе съ Пелагеей, ему иногда жалко становилось ее. А это иногда бывало съ нимъ утромъ, когда Пелагея мыла ему ноги, причемъ ея густые бѣлокурые, какъ ленъ, волосы падали на его ногу. Ему хотѣлось расцѣловать ее отъ души, только гордость не допускала его до этого; онъ никогда не могъ допустить того, что онъ долженъ жениться на ней: «дрянь, ничто!» думалъ онъ о Пелагеѣ.

Бѣдная дѣвушка уже перестала мечтать о замужествѣ съ Переплетчиковымъ. Она, проживши нѣсколько мѣсяцевъ, убѣдилась, что она для приказчика въ одно и то же время игрушка и хуже послѣдняго слуги. Во всей дворнѣ его она не видала ни одного человѣка, который бы пожалѣлъ ее, съ которымъ бы можно было поговорить отъ души: въ кухнѣ она была предметомъ развлеченія. Когда она ходила на рынокъ за покупками, на нее какъ будто всѣ смотрѣли, и она, поднявши глаза, потупленные отъ стыда въ землю, видѣла нѣсколько рукъ, поднятыхъ на нее, и какъ-будто слышала слова: «вотъ она, Палашка Семихина, наложница приказчика! Глядите: обручи! обручи!». Ребята бѣжали за ней и кричали: «обручи-те всплыли! подними кринку-то!». Бѣжать ей некуда, да и зачѣмъ бѣжать, когда она сыта, одѣта, обута, живетъ въ хорошихъ горницахъ, которыя бѣдной дѣвушкѣ прежде и во снѣ не грезились. Положимъ, что она убѣжитъ; но что она станетъ дѣлать съ своей несмѣлостью и робостью? А замужъ ее въ заводѣ возьметъ развѣ тотъ, кому приказчикъ прикажетъ взять, да и этотъ человѣкъ будетъ бить ее...

Трудно постоянно терпѣть подобно Пелагеѣ Вавиловнѣ. Тутъ нужно надѣяться на будущее; но какъ надѣяться и чего желать?.. Такъ и билась-мучилась Пелагея Вавиловна и ждала чего-то лучшаго. Несмотря на то, что она сдѣлалась экономкой въ домѣ приказчика и была въ родѣ начальницы надъ при-

слугой, отъ этого было не легче, потому что ей приходилось сталкиваться съ прислугой чаще, и прислуга постоянно грызла ее тѣмъ, что ворона залетѣла въ высокія хоромы. Время шло; она чувствовала беременность, горе душило ее... Поговорить не съ кѣмъ. Одинъ только Илья Игнатьичъ нравится ей, да и тотъ или бѣгаетъ, или спитъ. Илья Игнатьичъ съ перваго же дня поступленія его къ Переплетчикову понравился ей. Глумовъ былъ рослый парень, красивъ и всячески старался угодить ей, потому что никто изъ прислуги приказчика ему не нравился, какъ она, заводская красавица. Сестра его была красивая женщина, но она жила съ нимъ—она родная, а это чужая; эту обижаютъ всѣ, какъ и его всѣ презираютъ. Онъ понималъ, что Пелагея Вавиловна терпѣть не можетъ приказчика, какъ и онъ, но боялся ущипнуть ее. Вотъ онъ сталъ каждый день помогать ей мыть посуду; но эта работа производилась молча. Они или обмѣнивались нѣсколькими словами, относящимися до посуды и мытья ея, въ то время, когда былъ дома приказчикъ; когда же не было дома Переплетчикова, и Глумовъ убиралъ комнаты, она шутя указывала ему, что сдѣлать, хотя и сама мало смыслила: ей нравились споры Ильи Игнатьича, доказывавшаго, что это кресло лучше такъ поставить; нравилось еще Пелагеѣ Вавиловнѣ въ Ильѣ Игнатьичѣ то, что онъ никогда не жаловался на нее приказчику и ни разу ничѣмъ не попрекнулъ ее. Съ своей стороны Илья Игнатьичъ не слышалъ отъ нея такихъ словъ, какія говорятъ ему кухонные обитатели, и онъ радъ не радъ былъ постоять около Пелагеи, посмотрѣть ей въ глаза и помочь ей чѣмъ-нибудь. Оба понимали другъ друга, но не заговаривали о томъ, что ихъ мучило. Илья Игнатьичъ видѣлъ въ Пелагеѣ обиженную дѣвушку, опозоренную на весь заводъ приказчикомъ, разсуждалъ объ ней такъ же, какъ разсуждали и другіе рабочіе, ненавидящіе развратъ въ должностныхъ людяхъ, находящихся въ услуженіи заводскаго начальника...

Пелагея Вавиловна ему нравилась болѣе Аксиньи Горюновой, дѣвушки постоянно смѣющейся, не испытавшей никакого горя. И онъ сталъ рѣже ходить къ Горюнову, да и то не надолго. И Пелагеѣ Вавиловнѣ хотѣлось говорить съ Ильей Игнатьичемъ; только ей обидно казалось, что онъ самъ не хочетъ говорить съ нею. «Онъ—лакеишко, а я—любовница», думала она, и сердце ея обливалось кровью... Часто Илья Игнатьичъ въ отсутствіе приказчика приходилъ въ комнату Пелагеи Вавиловны, которая сидѣла за работой, краснѣлъ и дрожащимъ голосомъ спрашивалъ;

— Што шьешь?—а потомъ молчалъ, болѣе и болѣе робѣлъ и злой уходилъ изъ ея комнаты.

Пелагея Вавиловна тоже не разъ приходила къ прихожую и долго стояла, смотря на красивое лицо и на длинные русые волосы спавшаго Ильи Игнатьича; но сѣсть къ нему не смѣла: будить было жалко. Наконецъ она-таки не вытерпѣла. Около Николина дня, послѣ обѣда, Переплетчиковъ уѣхалъ изъ дому. Чрезъ пять минутъ входитъ Пелагея въ прихожую—Глумовъ спитъ, растянувшись на сундукѣ.

— Илья!—крикнула она.

Илья Игнатьичъ вскочилъ. Это разсмѣшило экономку.

— Пріѣхалъ што ли?—спросилъ онъ, протирая глаза кулакомъ.

— Нѣтъ, не пріѣхалъ... Да ты што спишь все? только доткнешься до мѣста и спишь! Вчера, какъ ты мелъ полы въ комнатахъ, я ушла въ кухню; прихожу черезъ четверть часа, ты сидишь въ креслѣ и спишь, и щетку обнялъ.

Между тѣмъ Илья Игнатьичъ опять легъ и заснулъ. Пелагея Вавиловна посмотрѣла на него и негромко сказала:

— Илья!

Глумовъ открылъ глаза, посмотрѣлъ на Пелагею,—сердце его радостно забилось, и онъ сѣлъ на сундукѣ.

— Хошь въ карты играть?—сказала Пелагея Вавиловна.

— Не хочу,—сказалъ сердито Глумовъ.

— А што?

— Спать хочу.

— Мнѣ скучно одной-то.

— А мнѣ што за дѣло...—и онъ закрылся халатомъ.

— Этой ты какой неучъ! Ну, разговаривать будемъ, у меня тамъ самоваръ стоитъ...

Видя, что Илья Игнатьичъ не отвѣчаетъ ей, она ушла. Но какъ только она вошла въ пріемную, Глумовъ вскочилъ, вздернулъ сапоги, накинулъ халатъ и пошелъ къ Пелагеѣ Вавиловнѣ. Въ ея комнатѣ въ два окна, убранной просто, дѣйствительно стоялъ на столѣ самоваръ. На блюдѣ лежала сибирская шаньга, разрѣзанная на кусочки.

Выпили по чашечкѣ молча. Оба глядѣли другъ на друга, оба краснѣли; у обоихъ руки тряслись, такъ что плясали чайныя чашки на блюдечкахъ.

— Што же ты молчишь?—спросила вдругъ хозяйка Илью Игнатьича.

— А ты што молчишь?

Ильѣ Игнатьичу было неловко. Пелагея Вавиловна была старше его,—любовница приказчика, командовавшая надъ прислугой. Что и какъ говорить съ этой барыней? Если бы она была Аксинья, ту бы можно было ущипнуть, а эту попробуй-ка... Илья Игнатьичъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Онъ не смѣлъ сказать ей любезности.

— Што же ты не пьешь?—спросила экономка.

— Не хочу.

— Какой ты право вахлакъ... Съ кухаркой и въ карты играешь, и разговариваешь...

Илью Игнатьича это взбѣсило, и онъ сказалъ ей дерзко:—врешь!

Дня четыре Илья Игнатьичъ пилъ чай у Пелагеи Вавиловны и каждое утро онъ строилъ планы, какъ бы ему лучше объясниться съ ней, что она красавица; но, встрѣчаясь съ ней, онъ робѣлъ, потому что боялся, а какъ она приказчику скажетъ. Разъ сидѣли они за чаемъ. Глумовъ начинаетъ шалить, т. е. бросаетъ куски сахару въ чашку Пелагеи Вавиловны,—та сердится. Напились чаю; Глумовъ дремлетъ.

— Илья,—сказала вдругъ Пелагея Вавиловна.

Глумовъ открылъ глаза и сѣлъ, какъ слѣдуетъ.

— Ты все спишь. Какой ты счастливецъ!

— А што?

Пелагея Вавиловна не отвѣчала, а смотрѣла на Илью Игнатьича; Илья Игнатьичъ смотрѣлъ на нее.

Тѣмъ дѣло и кончилось.

Утромъ Глумовъ рѣшилъ дѣйствовать не по-бабьи, но Пелагея Вавиловна вела себя, какъ слѣдуетъ.

Вечеромъ за чаемъ онъ велъ себя свободнѣе и уже обхватилъ Пелагею Вавиловну. Пелагея Вавиловна плакала и говорила:

— Ты не повѣришь, какъ я измучилась.

— Чево тебѣ мучиться-то? ты столько не дѣлаешь, сколько я дѣлаю.

— Эхъ, Илья Игнатьичъ! плохо же ты знаешь... Да и что говорить: ты все спишь. Одинъ Богъ только знаетъ, что̀ я переношу!.. Даже и во снѣ я вижу все нехорошее... Прежде я пробуждалась такъ легко, безъ заботы, а теперь думаешь, думаешь... Вставать надо, будить приказчика, услуживать ему. И кто его знаетъ: можетъ быть онъ одинъ разъ побьетъ меня или заставитъ дѣлать что-нибудь нехорошее...

Пелагея Вавиловна рыдала. Ильѣ Игнатьичу жалко стало ее; но онъ думалъ, что его жизнь тяжелѣе ея.

— А вотъ ты бы въ рудникѣ поработала, какъ я работалъ... Это что! Тебѣ што? ты барыня...

— Не говори ты этого... я сама думала о томъ, что я глупая. Я думала, што я напрасно мучусь. Вѣдь не одна я попадаю такъ насильно къ такимъ людямъ... вѣдь мы не виноваты; намъ нельзя убѣжать, ты это знаешь. Одно средство—повѣситься.

— Попробуй-ко! Нѣтъ я, братъ, ни за что не повѣшусь. Я лучше убью, а не повѣшусь,—горячился Илья Игнатьичъ, крѣпче обнимая Пелагею Вавиловну.

— Кабы я была мужчина, такъ я бы и въ рудникѣ могла робить; вѣдь и отецъ мой, и дѣдъ мой робили въ рудникахъ, и ты тоже робилъ. Только насъ-то не берутъ туда, потому намъ не вынести, силы у насъ такой нѣтъ. Все это ничего, да...

— Што?

— Иля, голубчикъ... Онъ обѣщался жениться на мнѣ.

— Разсказывай сказки-то! Переплетчиковъ не такой дуракъ, штобы на тебѣ женился.

— Я то же думаю.

Скоро пріѣхалъ приказчикъ и сказалъ Глумову:

— Въ Рождество ты поѣдешь со мной.

А къ Рождеству приказчикъ подарилъ Ильѣ Игнатьичу сюртукъ и брюки и далъ денегъ на покупку тулупа.

Въ Рождество Переплетчиковъ расфранченный поѣхалъ къ обѣднѣ въ соборъ. Кучеръ тоже былъ расфранченъ; Илья Игнатьичъ стоялъ назади санокъ. Приказчикъ важно вошелъ въ церковь. Илья Игнатьичъ снялъ съ него шубу, которую положилъ себѣ на плечо, а калоши и шапку держалъ въ рукахъ. Онъ стоялъ около старосты, продававшаго свѣчи. Давка въ церкви была страшная, и рабочіе то и дѣло поглядывали на молодого *лакешшка* и спрашивали его:

— Што, хороша твоя служба?

— Ужъ коли человѣкъ самъ не можетъ съ себя шубы снять, да въ рукахъ шапку держать, хорошей службы у него быть не можетъ.

— Ну, я бы ни за што не сталъ снимать шубы да держать ее. Гляди, какова: взопрѣлъ парень-то.

— А ты, глумовская выдра, сколько получаешь за такую службу? — спросилъ Илью Игнатьича одинъ рабочій съ усмѣшкой, желая этимъ кольнуть Глумова.

— Што ты присталъ ко мнѣ, чортъ?—крикнулъ Илья Игнатьичъ. На него поглядѣло человѣкъ пятьдесятъ. Народъ пошевелился; сдѣлалась давка, послышались голоса шопотомъ:—кто?

— Не въ отца, братъ, пошелъ,—приказчичья сука...—сказалъ шопотомъ одинъ рабочій.

Пріѣхалъ къ молебну управляющій въ инженерно-горной формѣ. Какъ ни было тѣсно, полицейскіе растолкали народъ на двѣ половины и устроили проходъ для управляющаго, съ котораго снялъ шинель и калоши его лакей въ ливреѣ. Этотъ лакей сталъ около Глумова и важно поглядывалъ на сосѣда и рабочихъ. Онъ принадлежалъ собственно управляющему, который въ числѣ прочихъ ста человѣкъ купилъ его у разорившагося помѣщика. Однако скоро между двумя лакеями начался разговоръ.

— Ты чей?—спросилъ лакей управляющаго Илью Игнатьича.

— Приказчика Переплетчикова,—отвѣчалъ грубо Глумовъ, глядя исподлобья на лакея управляющаго.

— А!—небрежно сказалъ ливрейный лакей.

— Што, у управляющаго хорошо жить?—спросилъ какой-то рабочій. Лакей промолчалъ; Илья Игнатьичъ повторилъ вопросъ.

— Не чета твоему приказчику. Приказчикъ—подначальный моему барину. Мой баринъ съ нимъ все можетъ сдѣлать, — говорилъ громко лакей управляющаго. Народъ обернулся и зло поглядѣлъ на лакея въ ливреѣ.

Оба лакея глядѣли въ разныя стороны. Лакей управляющаго глядѣлъ на рабочихъ, а Глумовъ молился.

Немного погодя, вышелъ Глумовъ на крыльцо; за нимъ вышелъ и лакей управляющаго.

Этотъ лакей очень не понравился Ильѣ Игнатьичу тѣмъ, что онъ вдругъ началъ превозносить управляющаго.

— То ли дѣло мой баринъ! Въ городъ пріѣдетъ—вездѣ почетъ, самъ главный начальникъ пріятель ему, и мнѣ тамъ большое обхожденіе... Пьешь, ѣшь, просто чего хочешь. А этихъ дѣвокъ—и не говори!.. Это што, а вотъ въ самомъ Петербургѣ мой баринъ у министра съ владѣльцами обѣдалъ, а я съ швейцаромъ былъ въ самыхъ короткихъ отношеніяхъ, за дочкой его ухаживалъ. Пять тысячъ даютъ, да скверно, что я женатъ... У твоего приказчика сколько слугъ?

— Шестеро,—нехотя отвѣчалъ Глумовъ.

— А у моего барина вотъ сколько слугъ: я самый первый и главный и называюсь камердинеромъ, потомъ на женской половинѣ лакей, мальчикъ и горничная, да на мужской лакей, экономка изъ дво-

рянокъ, старушка, потомъ прачка, судомойка, два повара, два кучера, дворникъ, да для дѣтей гувернантка, потомъ есть еще буфетчикъ и швейцаръ. И всѣ мы жалованье получаемъ, живемъ на готовомъ содержаніи съ семействами, такъ что насъ съ ребятишками всего на все насчитается до сорока человѣкъ.

Послѣ обѣдни приказчикъ поѣхалъ къ управляющему. Передъ господскимъ домомъ стояло десятка два санокъ. Кучера—непремѣнные работники, прикомандированные къ разнымъ *господамъ*,—или сидѣли въ саняхъ, или стояли кучками и, покуривая табакъ изъ трубокъ и папиросъ, толковали о своихъ господахъ, о томъ, какой баринъ хорошій человѣкъ или подлецъ, о томъ, какъ такая-то лошадь не даетъ себя чистить, запрягаться и т. п. Здѣсь они рѣшали разные вопросы, разсказывали сны, хвастались попойками, ухаживаніями за кухарками и горничными, и узнавали разныя новости изъ заводской и городской жизни.

У дверей въ подъѣздѣ стоялъ швейцаръ, отворявшій посѣтителямъ двери. Лакеевъ въ пріемную не пускали, потому что швейцаръ снималъ съ гостей пальто, шубы и шинели тотчасъ по входѣ въ пріемную, большую теплую комнату съ колоннами и дубовыми скамьями и вѣшалками. Изъ этой пріемной шла во второй этажъ широкая мраморная лѣстница съ колоннами, съ ковромъ посрединѣ и цвѣтами по бокамъ.

Илья Игнатьичъ терся около кучеровъ и лакеевъ и въ продолженіе часа со всѣми познакомился. Всѣ они были, что называется, ухарскіе, отчаянные, готовые на всякую гадость, и гордились своими должностями. Они ему не понравились и скоро надоѣли насмѣшками, распросами о приказчикѣ; ругали приказчика, какъ только могли, и относились къ нему съ пренебреженіемъ. Прошло часа три; холодъ и голодъ мучили не одного Илью Игнатьича, стали поговаривать о томъ, что хочется ѣсть, и «чортъ ихъ знаетъ, скоро ли ихъ лѣшій оттуда вытащитъ». Наконецъ стали разъѣзжаться: первый уѣхалъ почтмейстеръ безъ лакея, и его за это всѣ кучера осмѣяли.

— Вѣрно не пригласилъ къ обѣду-то!

— Не за што... Онъ не стоитъ того,—кричали кучера.

За почтмейстеромъ вышелъ ассесоръ казенной палаты, пріѣхавшій сюда для освидѣтельствованія торговли. Онъ уѣхалъ тоже безъ лакея. Опять заговорила толпа. Лакеи говорили, что онъ хочетъ жениться на дочери повѣреннаго, а кучера, что ему всѣ купцы не рады: придетъ въ лавку, возьметъ дорогую вещь и скажетъ: «деньги пришлю». Тѣмъ и кончитъ ревизію.

Уѣхали священники въ трехъ санкахъ. Заговорили объ единовѣрческихъ священникахъ.

— Теперь што будетъ у него?

— Обѣдъ; то закуска была.

— А обѣдать кто будетъ?

— Кто? разумѣется приказчикъ, повѣренный, исправникъ, горный начальникъ, инженеры, да мало ли кто?

— Этакъ, братцы, до вечера приходится...

— Штобъ ихъ всѣхъ разорвало тамъ!

Какъ ни старались кучера и лакеи развлечься сужденіями про начальниковъ, насмѣшками другъ надъ другомъ, издѣваньями надъ проходящими мимо ихъ, которые говорили имъ одно: «погодите тутъ, а мы ужъ пообѣдали и выспались»,—однако голодъ мучилъ всѣхъ. Всѣмъ стало обидно: рабочіе уже пообѣдали, а они толкутся на улицѣ, дожидаясь господъ, а уѣхать по домамъ нельзя. Больше всѣхъ запечалился Илья Игнатьичъ. Прежде въ этотъ день онъ хорошо наѣдался, игралъ и былъ очень веселъ. Никто его никакъ не могъ заставить что-нибудь дѣлать или оторвать отъ игры. Жалко ему сдѣлалось прежнихъ дней; припомнилось много худого и хорошаго, припомнилась ему сестра, особенно нравившаяся ему въ этотъ день, когда она играла съ нимъ и съ сосѣдними ребятишками въ жмурки и т. п. игры. Такъ грустно сдѣлалось ему, что онъ заплакалъ, но плакалъ недолго и незамѣтно, ругая приказчика, какъ только умѣлъ.

Кучера и лакеи часто уходили во дворъ и выходили оттуда чрезъ четверть часа съ раскуренными трубками. Пошелъ и Глумовъ во дворъ. Тамъ направо въ домѣ было два хода: одинъ въ покои управляющаго, называемый чернымъ, а другой въ кухню. Въ эту-то кухню и ходили раскуривать трубки лакеи и кучера. Но надо сказать правду, раскуриваніе трубокъ было только предлогомъ войти въ кухню: имъ хотѣлось узнать, что дѣлаютъ ихъ господа, хотѣлось погрѣться и понюхать хотя ароматъ отъ кушаній, которыми управляющій угощалъ своихъ гостей.

Два повара—одинъ высокій и тонкій, другой низенькій, толстенькій, съ краснымъ лицомъ, съ котораго катился градомъ потъ,—суетились около печи; два лакея бѣгали съ тарелками, двѣ женщины мыли посуду—и всѣ они ругались между собой, торопились; посуда звенѣла, плита шипѣла; въ кухнѣ было темно отъ пару, несмотря даже на то, что были отворены двери. Изъ комнатъ глухо слышалась музыка.

У стола въ переднемъ углу обѣдали и пили водку кучеръ и лакей горнаго начальника, которые жили въ домѣ управляющаго. Они важно глядѣли на заводскихъ кучеровъ и лакеевъ и на ихъ вопросы отвѣчали нехотя. Поварамъ, лакеямъ и судомойкамъ не нравилось, что заводскіе кучера и лакеи толкутся въ кухнѣ, и они кричали:

— Пошли вонъ! весь полъ изгадили своими лапищами.

— Ничего... мы только закуримъ.

— А што, скоро?—спрашивалъ какой-нибудь кучеръ.

— Што скоро?

— Отобѣдаютъ?

— Только второе блюдо; еще шесть осталось.

— Да што они—по часу одно блюдо ѣдятъ?...

— Пошли, вамъ говорятъ!.. Не видите што ли, генеральскіе обѣдаютъ. Куда вы съ вашимъ суконнымъ рыломъ да въ калашный рядъ,—говорили лакеи управляющаго. Половина кучеровъ на свои деньги сходила въ кабакъ и, выпивъ по косушкѣ, закусила рѣдькой и калачами; другая половина отъ

нечего дѣлать боролась. Часовъ въ шесть гости стали разъѣзжаться. Послѣдній вышелъ приказчикъ.

Когда Глумовъ сталъ раздѣвать приказчика, тотъ сказалъ ему.

— А нѣтъ ли у тебя на примѣтѣ какого-нибудь мальчишки эдакъ лѣтъ восьми.

— Есть—дяди Глумова сынъ, ему будетъ семь лѣтъ.

— Ну, и хорошо. Завтра я уѣзжаю въ городъ одинъ, и ты можешь гулять эти три дня и приведешь ко мнѣ мальчишку. Какъ его звать?

— Колькой.

— Пошли сюда Палашку. Скажи мнѣ откровенно: Палашка таскается съ кѣмъ?

— Нѣтъ. Она все плачетъ.

— Свинья... пошелъ вонъ!

XXIV.

Рано утромъ приказчикъ, запечатавъ свой кабинетъ, уѣхалъ. Его провожала вся прислуга.

— Вотъ и уѣхалъ красное солнышко. Гуляемъ, Илья Игнатьичъ,—говорила улыбаясь, Пелагея Вавиловна.

— Ты пойдешь куда?

— Некуда мнѣ идти. Я съ тобой хочу гулять. Мы состряпаемъ хорошія кушанья, прислугу созовемъ, плясать будемъ. Я хочу угостить ихъ, штобы они не ворчали на меня.

— А я напьюсь, ей-Богу, напьюсь!.. Пойду гулять по заводу.

— Дуракъ!.. Што за удовольствіе пить водку?.. Надо, штобы весело было.

— Не хочу я сидѣть въ комнатахъ, я гулять хочу.

— Счастливый ты, право... а мнѣ и выйти некуда.

Илья Игнатьичъ пошелъ на рынокъ. Ему хотѣлось купить шейный платокъ—такой, чтобы вся приказчичья дворня дивилась; но онъ, пересмотрѣвши въ десяти лавкахъ сто платковъ, выбралъ только одинъ, съ рисункомъ, изображающимъ лѣсъ, озеро и лодку, плывущую по озеру. Въ этой лодкѣ сидятъ трое: на кормѣ молодой человѣкъ въ халатѣ; посреди лодки, лицомъ къ молодому человѣку, сидитъ дѣвушка безъ платка на шеѣ; а въ гребляхъ сидитъ въ шляпѣ, похожей на горшокъ, пожилой мужчина. Эта картинка ему очень понравилась, и онъ, идя изъ лавки, долго глядѣлъ на платокъ, разсуждая: это Переплетчиковъ. Такъ ему и надо: греби, греби крѣпче... это Пелагея, а это я. А озеро это наше. А вотъ завода-то и нѣтъ». И онъ воротился въ лавку.

— Ну што?—спросилъ его приказчикъ.

— Да на платкѣ картинка чудесная; одного нѣтъ: нашего завода нѣтъ; нѣтъ ли у те такихъ, штобы и заводъ тутъ нашъ былъ нарисованъ.

— Да ты изъ какихъ?—огрѣлъ его торгашъ, расхохотавшись во всю глотку.

— Давай мнѣ картинку съ прудомъ,—закричалъ Глумовъ.

— Экая прыть у лакеишки... пошелъ знай! такихъ картинъ еще на фабрикѣ не заводилось.

Илья Игнатьичъ снова исходилъ разныя лавки; но его уже гнать стали, потому что онъ въ одну и ту же лавку заходилъ раза по три. Платокъ этотъ ему такъ понравился, что онъ ни за что его не промѣнялъ бы ни на какіе платки въ мірѣ. Потомъ Илья Глумовъ ходилъ около магазиновъ съ золотыми и серебряными вещами, разной посудой и думалъ про себя: «дрянь все! и деньги были бы, не купилъ бы. А если бы я былъ богатъ, какъ приказчикъ, построилъ бы я около пруда домъ, купилъ бы лодку, сани и лошадь. Лѣтомъ бы сталъ рыбачить, а зимой кататься по заводу».

При этомъ ему вдругъ пришла въ голову мысль идти къ Корчагину, узнать о сестрѣ; но онъ не зналъ, гдѣ онъ теперь живетъ послѣ пожара, бывшаго въ старой слободѣ. Онъ зашелъ въ первый попавшійся ему кабакъ, подъ названіемъ «Лапоть», извѣстнѣйшій въ заводѣ по разгулу рабочихъ.

Кабакъ для Ильи Глумова не былъ новостью. Покойный отецъ его часто посылалъ за водкой въ кабакъ, посылали его и сосѣди отца. Дорогой онъ надпивалъ водки и приходилъ домой съ посоловѣвшими глазами. Когда послѣ смерти отца онъ работалъ на фабрикѣ, то ему часто приходилось бывать съ рабочими въ кабакахъ; рабочіе угощали его и другихъ подростковъ на свой счетъ; случалось, и Илья Игнатьичъ угощалъ рабочихъ, если ему удавалось утянуть отъ дяди или Дарьи Власьевны десять коп. Пилъ онъ просто для веселья. Кабакъ былъ полонъ набитъ рабочими, такъ что до сидѣльца съ трудомъ можно было пробраться. Одни рабочіе орали пѣсни, наигрывая на гармоникахъ и притопывая ногами; другіе кричали громко, потому что нужно было кричать, иначе сосѣдъ сосѣда не услышитъ; третьи сидѣли уже пьяные. Было тутъ трое подростковъ, которые, сидя въ разныхъ мѣстахъ, звонко голосили. Отъ табачнаго дыму сразу начинала болѣть голова; но у Ильи Игнатьича голова не забаливала, только винный и табачный запахъ казались ему весьма противными.

Одинъ изъ посѣтителей, менѣе другихъ занятый разговорами, дернулъ Илью Игнатьича за рукавъ и крикнулъ:

— Ты што?—братцы, глядите!..

Человѣкъ пять поглядѣли на Илью Игнатьича.

— Илька Глумовъ?!

— Приказчичій лакей!

— Подслушникъ?

— Бей его, ребя?! Што вы тутъ не примѣчаете?.. онъ цѣлый часъ съ нами терся, *тресья вешная!*

Илья Игнатьичъ притворился пьянымъ.

— Ахъ, штобъ васъ!.. приказчикъ, штобъ ему околѣть совсѣмъ, уѣхалъ... Вина!..—кричалъ во все горло Глумовъ.

Въ это время кто-то ударилъ его въ спину.

— Што ты дерешься! за што ты меня бьешь, будь ты проклятъ? Што я тебѣ сдѣлалъ?

— Я тебя бью!... Бьетъ тебя Гришка Палицынъ за то, што ты за одно съ палиціей!..

— Братцы, пустите... Угощу! Всѣхъ угощу!—кричалъ Илья Игнатьичъ, что есть мочи.

Рабочіе захохотали.

— Чего вы орете, черти! Вру я што ли? Я, вотъ, сквозь землю провалиться, укралъ два цѣлковыхъ и кучу...

— Давай штофъ!—крикнулъ онъ сидѣльцу.

— Глядите, парень-то?! Точь въ точь Игнатко Глумовъ, дай Богъ царство небесное...

— Да тебя развѣ прогналъ Фомка-то?

— Боекъ, коли воровать у приказчика умѣетъ...

— Пейте!—кричалъ Илья Игнатьичъ.

Рабочіе хохотали, хлопали ладонями по спинѣ Илью Игнатьича и кричали:

— Молодецъ, Илюха! Ну-ко самъ, самъ!! Глядите! весь стаканъ сразу выпилъ... Ахъ, чортъ!

Илья Игнатьичъ сразу выпилъ стаканъ, покраснѣлъ и еще налилъ стаканъ.

Рабочіе загалдѣли. Одни говорили объ Игнатіи Петровичѣ, другіе ругали Тимофея Глумова, скрывшагося куда-то изъ завода. Потомъ около Ильи Игнатьича образовался кружокъ изъ двѣнадцати рабочихъ, которые разспрашивали о его приказчикѣ и о такихъ вещахъ, о чемъ ему и не вдомекъ было послушать. Илья Игнатьичъ бойко отвѣчалъ на всѣ вопросы: что̀ самъ зналъ, что̀ подслушалъ, гдѣ просто-напросто, по привычкѣ русскаго человѣка, вралъ.

— А про волю не слыхалъ?

— Будетъ, говоритъ приказчикъ.

Рабочіе опять загалдѣли, а одинъ, наставя кулакъ надъ головою Ильи Игнатьича, крикнулъ:

— Ежели ты еще што про волю скажешь—покойникъ будешь!.. Потому вы заодно съ приказчикомъ насъ мучите, штобъ вамъ околѣть...

Немного погодя, кто-то запѣлъ:

Мое-тъ миленькій да дружокъ,
Онъ да уѣхалъ
Въ славный Питеръ городокъ и т. д.

Человѣкъ пятнадцать пѣли вдругъ; присоединился къ нимъ и молодой Глумовъ. Голосъ его звучалъ сильнѣе прочихъ.

— А ну ее къ чорту, эту пѣсню! Плясать хочу! Ситниковъ, играй «во саду ли, въ огородѣ»,—кричалъ Илья Игнатьичъ.

— А ты што за командиръ?

— Ты што за указчикъ? Али лобъ у те чешется?..

— Играй «сѣни»!

Скоро заиграли въ четыре гармоники «сѣни», и вся публика толкалась въ тѣсной комнаткѣ. Отъ выдѣлыванія колѣнями и локтями разныхъ штукъ многимъ пришлось непонутру. Штофъ роспили скоро, кто-то взялъ полуштофъ и попотчивалъ Илью Игнатьича. Онъ хотя уже и былъ пьянъ, но выпилъ еще стаканъ.

— Братцы, кто видѣлъ Корчагина, мастера?—спросилъ Илья Игнатьичъ.

— Корчагинъ ужъ не мастеръ, а куренной рабочій.

Это удивило Илью Игнатьича; но скоро одинъ рабочій крикнулъ:

— Корчагинъ!

— Асъ!—откликнулся голосъ Корчагина.

Илью Игнатьича провели къ Корчагину. Онъ, сидя у стола, дремалъ и ворчалъ.

— Всѣ мошенники! и Тимошка Глумовъ мошенникъ!

Въ это время онъ увидалъ Илью Игнатьича и, не узнавши его въ нарядѣ писца, сказалъ:

— Ты што, чернильная піявка?

— А то: куда ты мою сестру дѣвалъ? — крикнулъ Илья Игнатьичъ.

— Какую твою сестру?

— Забылъ! ты думаешь, я ничего не знаю. А зачѣмъ ты отъ меня спрятался?

— Да ты-то што за птица?

— Я Илька Глумовъ. Говори: гдѣ моя сестра, Прасковья?

Корчагинъ былъ въ замѣшательствѣ, а Илья Игнатьичъ вцѣпился ему въ волоса. Корчагинъ оттолкнулъ его такъ, что онъ расшибъ себѣ носъ, но опять вцѣпился въ Корчагина; однако ихъ розняли и поднесли обоимъ по рюмкѣ водки.

— Не хочу я съ нимъ, съ подлецомъ, пить. Онъ мою сестру увезъ.

— Дуракъ ты и больше ничего. Ты мнѣ обиду большую сдѣлалъ.

Илья Игнатьичъ опять хотѣлъ вцѣпиться въ Корчагина, но его удержали, говоря:

— Ты не дури! Ты знай, што мы всѣ за него вступимся, а за тебя—никто.

— А развѣ мнѣ не жалко сестры?

Рабочіе захохотали.

— Скажите,—какой онъ во хмелю жалостливый.

— Твой отецъ не былъ жалостливый во хмелю, а у тебя, Илька, вѣрно бабье нутро?

— Нѣтъ, братцы, Илька правъ: Илька сестру спрашиваетъ,—крикнулъ кто-то.

— Братцы, виноватъ ли я, што увезъ ее въ городъ. Сами знаете, ей не житье бы здѣсь...—говорилъ Корчагинъ.

— Вѣрно!

— Што Корчагинъ скажетъ—пиши-подписывай: «быть по сему».

— А ты, Илюха, не ершись... Твою сестру приказчикъ хотѣлъ въ любовницы взять, а я не хотѣлъ этого. Взялъ да и увезъ въ городъ и къ мѣсту пристроилъ.

— Хора! хора! Ай-да Корчагинъ.

Илья Игнатьичъ почувствовалъ уваженіе къ Корчагину.

— Я далъ слово жениться на ней и женюсь.

— Хора! хора!.. Водки! Рубаху съ себя сниму, а попотчую Корчагина,—кричалъ одинъ рабочій. Всѣ посѣтители «Лапгя», въ томъ числѣ и постоянно приходящіе, узнавъ въ чемъ дѣло, были въ такомъ настроеніи, что готовы были, Богъ знаетъ, что сдѣлать такое хорошее Корчагину; каждый кричалъ, ругалъ другихъ; попрекамъ, кажется, не было бы конца, но тѣмъ и кончилось дѣло, потому что въ одномъ углу двое запѣли и заглушили своими пѣснями кричащихъ, въ другомъ углу двое дрались. Чрезъ четверть часа спокойствіе водворилось; изъ гостей одни разсуждали о недодачѣ денегъ заводоуправленіемъ, недодачѣ провіанта и дровъ, а другіе плясали, третьи такъ себѣ сидѣли.

Илья Игнатьичъ сидѣлъ рядомъ съ Корчагинымъ за одной стороной большого стола, за другими сторонами стола сидѣли по два рабочихъ, и каждая

пара разговаривала между собою, не мѣшая другимъ парамъ. Каждая пара были друзья, еще не совсѣмъ знакомые съ другими парами, потому что нѣкоторые изъ нихъ были присланы въ таракановскій заводъ изъ другихъ сосѣднихъ заводовъ.

Корчагинъ говорилъ Ильѣ Игнатьичу:

— Ты еще молодъ и мало испыталъ горя...

— А развѣ я не ползалъ съ тачкой въ шахтѣ? Што ты хвастаешься-то.

— Не горячись, Илья Игнатьичъ. То, что ты перенесъ, еще цвѣточки. А вотъ ты съ мое поживи. Я еще молодъ, а смотри, какой я сухой. А отъ чего все это произошло? Я теперь пьянъ и потому не умѣю тебѣ сказать толкомъ, отъ чего я такой сдѣлался...

— Ты мастеръ былъ первый во всемъ заводѣ.

— Былъ. А теперь куренной рабочій!—А ты думаешь, легко мнѣ досталось мастерство? Эхъ-ма, да не дома! Я одинъ бился, какъ рыба объ ледъ. Мнѣ никто не помогалъ, я самъ десять лѣтъ учился, десять лѣтъ инструменты пріобрѣталъ. Потомъ я скопилъ капиталъ, надѣялся, Богъ знаетъ, на что... надѣялся завестись своимъ хозяйствомъ, женой—для того, чтобы мнѣ было утѣшеніе, развлеченіе, было съ кѣмъ слово молвить... Да подвернулась мнѣ въ это время твоя сестра... Чего про нее не говорили люди!..

Корчагинъ тяжело вздохнулъ, прослезился и выпилъ стаканъ водки.

— Такъ-то, душа моя!.. Я ужъ тебѣ говорилъ, что ей нельзя было жить здѣсь, и я свезъ ее въ городъ. И теперь не знаю, что съ нею дѣлается... Пріѣзжаю я сюда... домъ сгорѣлъ, моя сестра гуляетъ... А тутъ и говорить не стоитъ... А тутъ меня и въ куренные рабочіе стурили... Ловко это?

— Што жъ ты думаешь теперь?

— Да што думать? Нашему брату только нужно съ нанталыку сбиться, а тутъ и пиши—пропало. Когда я теперь поправлюсь?.. Вотъ и пью съ горя. И глупо я дѣлаю, ей-Богу! и Прасковья меня мучитъ, потому я не знаю, жива она или нѣтъ, и положенье мое меня мучитъ, а все-таки глупо я дѣлаю... А что жъ мнѣ дѣлать, будьте вы прокляты всѣ! Ну, скажите, што мнѣ дѣлать? Если я задавлюсь, вы скажете: я дуракъ, и бросите меня, какъ собаку... Бѣжать надо въ городъ, въ работники надо идти, вотъ одно спасенье!.. А какъ убѣжишь? Да и не обидно развѣ мнѣ, што я столь безпокоился? Ужъ мнѣ не прожить столько, сколько я прожилъ: прожитые года были хоть и тяжелы, зато я надѣялся, а теперь опять нужно сызнова начинать.

— Это вѣрно,—сказалъ одинъ рабочій, слушавшій молча Корчагина; за нимъ подтвердили и другіе, сидѣвшіе за однимъ столомъ съ Корчагинымъ. Илья Игнатьичъ уже спалъ.

Былъ уже часъ одиннадцатый вечера. Посѣтителей становилось больше и больше. Тѣхъ посѣтителей, которые были при приходѣ Глумова, въ «Лаптѣ» давно уже не было. Съ тѣхъ поръ посѣтителей перебывало много со всѣхъ улицъ завода. Тутъ были и пріѣзжіе изъ другихъ заводовъ и рудниковъ, особенно Петровскаго, куда къ Рождеству пригонялись люди изъ дальнихъ заводовъ, и эти люди не могли встрѣтить праздникъ дома, потому что они работали на рудникѣ въ первый день Рождества и на третій день должны быть на рудникѣ.

Корчагинъ чувствовалъ, что онъ пьянъ и хочетъ спать, но вставать со скамейки не хотѣлось, хотѣлось еще послушать рабочихъ, потолковать съ ними. Вдругъ входитъ въ кабакъ его сестра Варвара въ оборванной шубейкѣ и съ шалью зеленаго цвѣта на головѣ, а за ней еще какая-то женщина въ одномъ сарафанѣ, съ непокрытой головой, — обѣ пьяныя. На шали Варвары, на волосахъ другой женщины, на плечахъ и спинахъ обѣихъ лежалъ снѣгъ; на пришедшихъ за ними рабочихъ тоже снѣгъ—значитъ, идетъ снѣгъ.

— Варвара! А штобъ те розорвало,—кричатъ рабочіе.

— Угостите водочкой,—и Варвара запѣла какую-то пѣсню, начала притопывать лѣвой ногой.

Ее обнялъ какой-то черноволосый рабочій, утащилъ въ уголъ; другую женщину никто не бралъ.

Корчагинъ поднялся съ мѣста, надѣлъ фуражку и, растолкавъ Илью Игнатьича, сказалъ ему:

— Пойдемъ.

— Я... спать... Я гуляю...

Корчагинъ взялъ подъ мышки его голову и потащилъ вонъ изъ кабака. Ему дали дорогу.

— Видѣлъ?—спросилъ его одинъ рабочій.

— Што же такое? дуру не образумишь.

— Такъ оно... самъ испортилъ.

Корчагинъ утащилъ Глумова въ свою квартиру, находящуюся въ домѣ казака Занадворова.

Корчагинъ хотя и всталъ поздно, а именно, когда уже широко разсвѣло и не нужно было зажигать лучину или свѣчку, однако всталъ раньше Глумова. Глумовъ пробудился тогда, когда уже отзвонили къ обѣднѣ; въ это время Корчагинъ обдѣлывалъ садокъ для птицъ. Кровати у него въ избѣ не было, а изба его украшалась простымъ столомъ, небольшой скамейкой, стуломъ для гостей, сдѣланнымъ самимъ Корчагинымъ, и чурбаномъ, на которомъ сидѣлъ самъ Корчагинъ. На одной стѣнѣ висѣлъ зипунъ; съ полатей свѣсилась одна штанина, да виднѣлась пила. Недалеко отъ зипуна въ стѣну были заткнуты два небольшихъ ножа, подпилокъ и долото, около печки лежало нѣсколько полѣньевъ и топоръ. Въ переднемъ углу висѣлъ небольшой мѣдный крестъ и распятіе.

Илья Игнатьичъ, лежа на полу, долго глядѣлъ на Корчагина, удивляясь его ловкости всовывать палочки въ перекладинки, но ему хотѣлось лежать: голова болѣла, онъ не могъ встать.

— Ты чево... кому это?—спросилъ онъ Корчагина.

— Да такъ... На базаръ снесу, можетъ купятъ.

— А ты бы другое што...

— Што я стану дѣлать-то? Смотри, вотъ все украшеніе; даже самыхъ главныхъ инструментовъ нѣту. А покупать—не скоро купишь, потому капиталовъ нѣту. Опять и робить некогда...

— Плохо.

— Плохо, Илья Игнатьичъ, больно плохо. Горе

беретъ, такъ что и не знаешь, что бы надъ собой сдѣлать. Водки выпьешь, еще того хуже, дѣлать не хочется, денегъ жалко, а поправиться нѣту силъ...

— Ну, я, братъ, погулялъ-таки вчера... Никогда такъ не гуливалъ... Въ чемъ это я сюртукъ-то вывалялъ?

— Больно, братъ, ты пьянъ былъ... Не годится такъ пить, потому, разъ здоровье свое испортишь, а другой—у тебя еще не такое большое горе: ты еще жить начинаешь.

— Нѣтъ, я, Корчагинъ, гулять хочу. Деньги есть!.. Недостанетъ—тулупишко пропью.

— А какъ ты съ приказчикомъ-то будешь ѣздить?

— Наплевалъ бы я на него. Што я свинья што ли какая? и такъ всѣ сукой меня называютъ... Корчагинъ!—давай стряпать пирожки съ говядиной... Право. А?

— Ошутилъ! ха, ха! Ежели бы я былъ семейный человѣкъ—такъ, а то у меня всего одна деревянная чашка да ложка, да и тѣ гдѣ-то на печкѣ валяются.

— Ну, ко мнѣ пойдемъ.

— Не пойду.

— Пойдемъ, сказано — гуляю! Угощу! У насъ поди тоже гуляютъ. Вася, пойдемъ...

— Нѣтъ, мнѣ нельзя — у меня дѣло есть, а завтра надо на работу идти.

Сколько Илья Игнатьичъ ни уговаривалъ Корчагина идти къ нему въ гости, Корчагинъ не пошелъ. Глумовъ обругалъ его и направился домой.

Дорогой до своей квартиры или до господскаго дома онъ еще зашелъ въ кабакъ и пришелъ домой безъ тулупа, совсѣмъ пьяный.

— Гдѣ у тебя тулупъ-то?—спросилъ его дворникъ.

— Пропилъ, и сюртукъ пропью... Все пропью!—говорилъ Илья Игнатьичъ, хохоча и махая руками.

У Переплетчиковской прислуги были гости, но онъ не обратилъ на нихъ никакого вниманія и, кое-какъ взобравшись на полати, уснулъ подъ пляску и пѣсни гостей. Оставался еще одинъ день гулять Ильѣ Игнатьичу, но ему было не до гулянья. Когда онъ проснулся, ему стыдно стало передъ прислугой и передъ самимъ собой. Мысль, какъ онъ покажется передъ свѣтлыя очи приказчика, ужасала его, и онъ думалъ, что хорошо, если онъ отдѣлается одной поркой, а если онъ прогонитъ его? куда тогда пристроится Илья Игнатьичъ?.. Носъ болитъ: на немъ не то шишка, не то засохло что-то; сюртукъ и брюки замараны, разорваны; полушубка нѣтъ. «Вѣдь и носъ не заживетъ до завтра?» думалъ онъ.

— И не стыдно тебѣ такъ напиваться, мальчишка ты эдакой!—грызла его Прасковья, у которой впрочемъ былъ надъ лѣвымъ глазомъ большой синякъ, неизбѣжный послѣ вечеровъ.

— Погоди ты, страмецъ, скажу я приказчику... Онъ тѣ! Куда ты тулупишко дѣлъ?—ворчалъ дворникъ.

— Онъ его продалъ, должно быть. Ну, какъ не драть ихъ, шельмецовъ,—поддакивалъ садовникъ.

Ильѣ Игнатьичу тошно было слышать всѣ эти слова.

И началъ Илья приводить себя и свой носъ въ порядокъ; но до порядка еще было далеко. Пелагея Вавиловна починила ему одежонку, и онъ весь день сидѣлъ съ ней, играя въ карты, причемъ вмѣсто того, чтобы бить Илью Игнатьича по носу, Пелагея Вавиловна щелкала его по лбу пальцами, отъ чего къ вечеру у него на лбу вскочилъ порядочный волдырь.

Вечеромъ они пили чай вмѣстѣ. Пелагея Вавиловна достала изъ кладовой для Ильи Игнатьича бутылку рому, а для себя бутылку хересу, сказавъ при этомъ: «гуляемъ! Хоть безъ него-то погулять».

Толковали они о пустякахъ, потомъ опьянѣли, развеселились. Илья Игнатьичъ сталъ ее щипать за бока, она колотила его кулакомъ по плечу. Эта игра такъ понравилась имъ, что они стали играть въ ладошки, т. е. щелкать руками другъ друга. Потомъ Илья Игнатьичъ обнялъ Пелагею. Она не препятствовала и только сказала дрожащимъ голосомъ:

— Ты што—второй приказчикъ што ли?

— Ну его! А вотъ, Пелагея, какой платокъ я купилъ—прелесть.

Сталъ онъ искать платокъ и нигдѣ не нашелъ платка. Это горе проняло его до слезъ, вся веселость пропала, но Пелагея скоро развеселила его, и оба они невольно дошли до того, что стали цѣловаться, а потомъ вмѣстѣ легли спать.

Напрасно ждали на другой день приказчика. Онъ не пріѣзжалъ цѣлую недѣлю, и во все это время прислуга сидѣла дома, не смѣя никуда отлучиться. Зато когда онъ пріѣхалъ, то былъ ужасно сердитъ, но ничего не замѣтилъ Ильѣ Игнатьичу насчетъ его подбитаго носа.

— Онъ о чемъ-то думаетъ. Какъ ни погляжу, сидитъ съ перомъ и думаетъ, лежитъ и думаетъ,—говорила Ильѣ Игнатьичу Пелагея Вавиловна.

— Поди, подъ судъ попалъ,—замѣтилъ Глумовъ.

— А хорошо бы, еслибъ онъ насъ прогналъ. Мы бы повѣнчались и въ городъ поѣхали. Я бы бѣлье стала стирать, а ты бы въ лакеи пошелъ.

— Гляди, онъ женится на тебѣ,—смѣясь, говорилъ Глумовъ.

Черезъ недѣлю по пріѣздѣ приказчикъ взялъ съ собой Илью Игнатьича и спросилъ его:

— А тулупъ гдѣ?

— Меня рабочіе избили на пруду: говорятъ, лакей приказчика; стали бить, я вырвался и тулупъ оставилъ.

— Ну, такъ и ходи въ сюртучишкѣ!

А вечеромъ того же дня приказчикъ спросилъ Илью Игнатьича:

— Што же, гдѣ мальчишка?

— Кузнецъ Савватѣевъ не пускаетъ его; говоритъ, пусть уплатятъ мнѣ двадцать пять рублей за обученіе.

— Хорошо!

Черезъ часъ послана была съ Ильей Игнатьичемъ къ исправнику записка такого содержанія:

«Покорнѣйше прошу ваше высокоблагородіе наказать непремѣннаго работника таракановскаго завода Ивана Савватѣева за ослушаніе и неявку на работы двадцатью пятью розгами и выслать его на Петровскій рудникъ».

На другой день Колька Глумовъ былъ уже на кухнѣ приказчика.

Переплетчикову вздумалось имѣть казачка, для того чтобы удивить управляющаго, и онъ дѣйствительно удивилъ его.

Около Крещенья у Переплетчикова былъ балъ, на который были приглашены всѣ сановитыя особы завода, въ томъ числѣ и управляющій съ семействомъ. Послѣ танцевъ стали ужинать. Прислуживали только Пелагея, Илья и Николай Глумовъ, который былъ одѣтъ въ красную рубаху, подпоясанную ремешкомъ съ мѣдной застежкой, и въ плисовые штаны, засунутые за сапоги. Гости обращались съ приказчикомъ фамильярно и только къ одному управляющему относились съ подобострастіемъ и уваженіемъ.

— Послушай, Переплетчиковъ, неужели у тебя только прислуги?—спросилъ управляющій.

— Моя прислуга расторопная.

— А это что, любовница твоя?

— Такъ по малости... А вы поглядите на этого мальчика—это казачокъ.

— Казачокъ! Ахъ ты, плутъ! Я только-что хотѣлъ казачка завести... Что же онъ у тебя дѣлаетъ?

— Все дѣлаетъ. Колька, пляши!

Колька сталъ плясать и пыхтѣть; потъ съ него такъ и лилъ. Гости хохотали.

— Молодецъ!—сказалъ управляющій.

— Пой! про волю — пой... Какъ ее: «ужъ ты, горе мое»...

Колька пропѣлъ. Управляющій остался недоволенъ.

— Откуда ты эту пѣсню выучилъ?

— Робята поютъ.

— Кувыркайся, шельма ты адская! — сказалъ приказчикъ, и казачокъ сталъ кувыркаться. Это кувырканье опять разсмѣшило гостей, только нелегко доставалось Колькѣ. Колька былъ еще малъ, онъ никогда не былъ въ хорошихъ домахъ, не видалъ такого собранія: на него стоило только крикнуть, и онъ готовъ былъ голову сломать, чтобы угодить начальству.

Весь ужинъ Колька проплясалъ, прокривлялся и пропѣлъ.

— Молодецъ мальчишка! подойди! возьми косточку,—сказалъ управляющій.

Колька взялъ косточку и не зналъ, что дѣлать съ ней. Будь на ней мясо — онъ бы не задумался.

— Грызи!

— Я не собака... — сказалъ Колька и куксилъ глаза.

— Тебѣ приказываютъ! — крикнулъ приказчикъ.

Колька сталъ грызть, но зубы не брали. Гости хохочутъ.

— Шельма этотъ Переплетчиковъ... Я тобой недоволенъ, — проговорилъ управляющій приказчику.

— Отчего?

— Оттого, что я не имѣю казачка, и никто кромѣ меня не смѣетъ имѣть казачка, — горячо сказалъ управляющій.

— А почему такъ?

— Потому что я здѣсь глава.

Однако эта вспышка заглушилась скоро тостами за управляющаго, и онъ сталъ просить Переплетчикова подарить ему казачка.

— Не мой, онъ—господскій.

— Я могу сдѣлать, что онъ будетъ мой.

— А я не продамъ, да и воля скоро будетъ.

— Когда еще будетъ! Послушай, я могу всю твою прислугу отобрать отъ тебя.

— Покуда я приказчикъ, никто у меня прислуги не отыметъ, а съ этой должности вы меня не имѣете права смѣстить.

— Имѣю.

— А должокъ-то двадцать-то тысячъ?

— Возьми вексель.

— Нѣтъ-съ! что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ.

— Подлецъ! вотъ судьба навалила мнѣ чорта на шею!..

Такъ Колька и остался у приказчика казачкомъ. Должность его состояла въ томъ, что онъ долженъ былъ спать въ дверяхъ спальни Переплетчикова, подавать ему то, что̀ Переплетчикову было лѣнь поднять, подавать ему спички, сигары, трубку, разносить чай гостямъ. Но кромѣ этого у него много было дѣла: Илья Игнатьичъ заставлялъ его чистить сапоги, подсвѣчники и т. п., прислуга заставляла чистить посуду, Пелагея Вавиловна мыть чашки. Колька все дѣлалъ безропотно. У него еще много оставалось свободнаго времени. Разъ онъ какъ-то прибѣжалъ къ приказчику въ кабинетъ на его зовъ. Лицо его было грязное, въ слезахъ.

— Отчего ты такой чупарый?

— Панкратъ пьяный дерется. Настьку всю избилъ, меня избилъ... Я говорю, скажу молъ приказчику, што лошадь храмлетъ, — онъ какъ...

— Што? какая лошадь?

— Сегодня говорили, курицъ собака съѣла. Пелагея ругалась сколько... Ключъ, говорятъ, потеряли.

Приказчикъ позвалъ Пелагею Вавиловну, распекъ ее и отправился самъ въ кухню, въ которой онъ не бывалъ пять лѣтъ. Въ кухнѣ выла Настасья, кучера не было, дворникъ и садовникъ были пьяные. Приказчикъ позвалъ ихъ идти по кладовымъ, каретникамъ и сараямъ. У приказчика было три лошади и четыре коровы; оказалось только двѣ лошади и двѣ коровы.

Приказчикъ помолчалъ. А на другой день всю кухонную прислугу потребовали въ полицію, наказали розгами, и намѣсто ея явилась новая. Всѣ вещи прежней прислуги и деньги ихъ приказчикъ велѣлъ раздѣлить Пелагеѣ и Ильѣ Игнатьичу, которому внизу была отведена одна пустая комната.

Къ масляницѣ Илья Игнатьичъ ходилъ щеголемъ и обзавелся друзьями между лакеями, которые ходили къ нему въ гости и къ которымъ онъ самъ ходилъ.

XXV.

Великимъ постомъ, въ воскресенье, Василій Васильевичъ Корчагинъ былъ дома и чинилъ почт-

мейстерскую шкатулку. Ему хотѣлось кончить работу скорѣе, а такъ какъ работа подходила къ концу, то онъ и не обѣдалъ до окончанія. Часу къ четвертому шкатулка была поправлена совсѣмъ. И хотя въ это время дни уже длинные, но день выдался пасмурный и снѣжный, отчего въ избѣ Корчагина было темновато. Корчагинъ пообѣдалъ, т. е. съѣлъ два ломтя чернаго хлѣба да похлебалъ соленой капустки съ солеными огурцами и картофелемъ. Онъ не торопился ѣсть, а съ умиленіемъ поглядывалъ на шкатулку.

— Славу Богу,— говорилъ онъ вслухъ,— кончилъ. Полтинникъ получу и то ладно... Кабы прежняя пора, я бы за эту работу меньше двухъ цѣлковыхъ не взялъ... право... ну, да, наплевать! Одно горе — долговъ пропасть. Вотъ теперь получу я полтинникъ, ну што я изъ него сдѣлаю? Хоть я вещей и не закладывалъ, потому не гуляю, какъ товарищи, а все-таки долговъ много, и деньги взяты на-слово. Какъ бы это расплатиться-то: Маремьянѣ нужно непремѣнно бы отдать четвертакъ, штобы совѣсть очистить, а то шутка—съ Покрова дожидается, и дѣло-то ея больно некорыстное (т. е. бѣдное). Емельянову вонъ полтора цѣлковыхъ долженъ, — и тому давно пора возвратить... Эко горе мое горькое!—Потомъ онъ легъ на печь отдохнуть и раздумался о Прасковьѣ Игнатьевнѣ. Вдругъ къ нему пришелъ рабочій Фоминъ, только-что воротившійся изъ города.

— Здорово, крещеные!—сказалъ онъ, входя въ избу, снимая шапку, покрытую снѣгомъ, и не замѣчая Корчагина на печкѣ.

— Здорово, Фоминъ, съ пріѣздомъ! — сказалъ Корчагинъ. Немного погодя, онъ соскочилъ съ печки.

— Ну, братъ, и городъ, будь онъ проклятъ!— ругался Фоминъ.

— Што такъ, али обжегся?

— Куда ни поворотись—вездѣ давай деньги и берегись мошенниковъ... Фоминъ немного помолчалъ и, улыбнувшись, началъ.

— Ты вѣдь ничего не знаешь, а я много вѣстей привезъ.

— Што? — спросилъ, удивляясь, Корчагинъ: онъ не зналъ, какую такую новость могъ сообщить ему Фоминъ.

— Поставь, братъ, жбанъ пива. Ей-Богу — штуки!

— И ведро бы поставилъ, Петръ Павлычъ, да въ карманѣ-то Великій постъ.

— Ну, пойдемъ, я тѣ поставлю отъ себя; только надо говорить по душѣ и не хмурясь.

— Да ты скажи.

— Нельзя!

Кое-какъ Василій Васильевичъ уговорилъ Фомина.

— А первое я тѣ скажу—воля вышла.

— Ну!—и Корчагинъ махнулъ рукой.—А другое што,—спросилъ онъ Фомина, недовольный имъ.

— Нѣтъ, ты слушай: вчера было воскресенье, самъ былъ въ соборѣ, гдѣ самъ архіерей служилъ. Манифестъ читали. Народу што-это, и не говори! только рабочихъ долго не пускали въ соборъ-то, потому начальство ждали.

— Што жъ ты—врешь али нѣтъ?

— Што я подлецъ што-ли какой? говорю, манифестъ читали объ волѣ! Протодьяконъ читалъ, голосъ у него не нашему теперешнему соборному дьякону чета... Важно рявкалъ!

— Кому жъ эта воля?

— Да тутъ сказаны крестьяне господскіе, а объ мастеровыхъ ничего не сказано.

— Значитъ—намъ воли нѣтъ.

— Толковали тутъ приказные, што въ манифестѣ-де пропустили насъ, въ горномъ правленьѣ дополненье объ насъ есть.

— Ну, это все враки! А другое што?

— А другое: иду я это утромъ въ церковь-ту и встрѣчаю Прасковью Глумову. Худая такая, въ шубейкѣ. Ну, вотъ я остановился противъ нея и говорю: «Здорово, Прасковья Игнатьевна». Она какъ будто не узнала меня, тоже остановилась и глядитъ на меня. «Не узнала?» говорю.—«Да ты, говоритъ, таракановской... Ты не Петръ ли Фоминъ?»—«Такъ», говорю,—ну, и разговорились. «Гдѣ, говорю, ты живешь?»—«А я, говоритъ, живу въ куфаркахъ у столоначальника правленскаго Панкратова, три рубля на ассигнаціи, говоритъ, въ мѣсяцъ получаю; кормятъ, говоритъ. Башмаки, говоритъ, къ Новому году подарили, къ Пасхѣ тоже, говоритъ, обѣщались башмаки купить».—Я говорю, молъ, Корчагинъ соболѣзнуетъ объ тебѣ. А она говоритъ: «скажи ему, што онъ мерзавецъ, потому меня бросилъ. Я, говоритъ, по его милости три мѣсяца въ лихоманкѣ была, въ больницѣ лежала».

Это извѣстіе очень обрадовало Корчагина. Что касается до воли, то онъ вѣрилъ и не вѣрилъ Фомину.

На другой день Корчагинъ былъ у почтмейстера; тотъ поздравилъ его съ волей и сказалъ, что къ управляющему пріѣхалъ чиновникъ отъ губернатора и привезъ манифестъ о волѣ. Почтмейстеру Корчагинъ повѣрилъ на томъ основаніи, что, по его мнѣнію, почтмейстеръ долженъ знать, какъ почта, что дѣлается во всемъ свѣтѣ. Онъ узналъ отъ почтмейстера только, что всѣхъ рабочихъ уволили изъ крѣпостного состоянія и что теперь будетъ отъ нихъ зависѣть, работать на заводѣ или нѣтъ. Больше почтмейстеръ ничего не зналъ: но и этого было достаточно Корчагину. Онъ шелъ изъ почтовой конторы веселый, такъ и порывался сказать каждому встрѣчному: «манифестъ объ волѣ привезли!» — но его мучили вопросы: «Что же это такое? Какая такая воля? прежде насъ тиранили-тиранили, суда никакого на нихъ, подлецовъ, не было, а теперь вдругъ воля? И кто это схлопоталъ намъ волю?»

Слово «воля» онъ плохо понималъ. Вольный человѣкъ—значитъ человѣкъ, никому неподначальный и т. д... Но онъ думалъ: «не будутъ ли за эту волю деньги съ рабочихъ взыскивать? или вмѣсто теперешнихъ рабочихъ пригонятъ изъ другихъ мѣстъ новыхъ, а намъ скажутъ: вы не годитесь, уходите, братцы, отсюда, вы вольные, люди много страдавшіе

*

прежде, а теперь никому неподначальные... и потому ищите другой работы»...

Навстрѣчу къ нему летѣла молодая женщина. Она размахивала руками; на лицѣ ея виднѣлся испугъ, губы дрожали.

— Экъ те проняло! што ты, угорѣлая?—крикнулъ ей Корчагинъ.

— Ой, бѣда!

— Што доспѣлось?

— Воля!..—и баба пробѣжала.

«Дура!» сказалъ Корчагинъ и подумалъ про себя: «какъ, право, мы падки до диковинокъ! Надобно доподлинно узнать это дѣло», и онъ повернулъ къ господскому дому. Передъ подъѣздомъ господскаго дома стояли трое саней, около нихъ стояли трое кучеровъ, которыхъ окружали человѣкъ пятнадцать рабочихъ и горячо о чемъ-то разсуждали.

Подойдя ближе къ нимъ, Корчагинъ узналъ, что это кучера приказчика, исправника и повѣреннаго Тараканова.

— Вонъ Корчагинъ!.. Василій, иди скорѣе! — прокричалъ одинъ рабочій.

— Ну, што?

— Воля вышла!

— Слышалъ.

— Отъ самого губернатора, слышь, чиновникъ манифестъ привезъ. Почтовый ящикъ объ этомъ сказывалъ. Онъ, этотъ чиновникъ, ящику-то бумагу читалъ.

— Станетъ чиновникъ съ ящикомъ разговаривать... Христа ради развѣ.

— Тебѣ говорятъ, разговаривалъ...

— А ты видѣлъ?.. одно слово—насъ пытаютъ, вотъ што! Вѣдь ужъ давно объ этой волѣ говорятъ.

— Теперь мы совѣтъ держимъ: зачѣмъ пріѣхалъ сюда исправникъ да приказчикъ съ повѣреннымъ.

Вышелъ изъ подъѣзда исправникъ. Онъ былъ сумраченъ; къ нему подошли рабочіе, сняли шапки.

— Ваше благородье, объясни ты намъ это дѣло: вышла воля али нѣтъ?

— Кучеръ!?—крикнулъ онъ своему возницѣ.

Кучеръ исправника, ругавшій до сихъ поръ своего хозяина, сталъ ругать рабочихъ, замахиваясь кнутомъ, вѣроятно по привычкѣ угождать исправнику.

Исправникъ уѣхалъ. Такъ прошло время до воскресенья. Рабочіе были въ такомъ настроеніи, что головы у нихъ точно были не свои, руки опустились, ноги ослабѣли, мало ѣлось. Дома, на работѣ только и было говору, что о губернаторскомъ чиновникѣ и о манифестѣ. Теперь всѣ вѣрили тому, что получена воля; но каждый понималъ эту волю по-своему и старался узнать общее мнѣніе о ней. Въ толпахъ разсуждали розно. Это еще болѣе приводило въ смущеніе рабочихъ; они послѣ работы долго не могли заснуть, и если спали, то часто просыпались: воля не выходила изъ головы, человѣкъ чувствовалъ и дрожь, и радость... Бабы тоже голосили, ходили отъ сосѣдки къ сосѣдкѣ и разсуждали объ этомъ случаѣ опять-таки по-своему, по-бабьи, и при этомъ каждая, думая, что она говоритъ дѣло, горячо отстаивала свое мнѣніе, вслушиваясь между прочимъ въ сужденія толковой бабы... Мужчины и женщины то и дѣло понавѣдывались, т. е. ходили по одному и по два къ господскому дому, къ исправническому дому и къ конторѣ. Имъ хотѣлось узнать: уѣхалъ или нѣтъ губернаторскій чиновникъ. А это для нихъ много значило. Но чиновникъ не уѣзжалъ еще. Въ пятницу стали наполняться кабаки, и рабочіе совѣтовались: ходить или нѣтъ на работы. Надо просить, чтобы имъ прочитали манифестъ. Рѣшили начать это съ понедѣльника. Но въ субботу утромъ попался одному рабочему соборный дьячокъ.

— Слышалъ ты новость—воля вышла.

— Слышалъ, да што толку...

— Завтра читать будутъ царскій манифестъ въ соборѣ.

— Такъ отъ царя воля-то?

— Да. А ты отъ кого думалъ? Тутъ, братъ, только царь и можетъ уволить васъ, потому вонъ у вашихъ господъ сколько заводовъ, да людей, говорятъ, тысячъ пятьдесятъ, а у другихъ и по двѣсти тысячъ есть.

— Да какъ же толкуютъ: воля не намъ, а крестьянамъ?

— Всѣмъ—кто крѣпостной.

— А казенные?

— Казеннымъ воли нѣтъ, потому они казенные.

Въ этотъ же день всѣ рабочіе узнали, что завтра будутъ за обѣдней въ соборѣ читать царскій манифестъ о волѣ, и на работы никто не пошелъ.

Мужчины вымылись въ банѣ, надѣли чистые рубахи и штаны съ вечера; женщины тоже съ вечера приготовили для себя подвѣнечные сарафаны, а худые сарафаны и шубейки постарались поскорѣе починить.

Въ воскресенье, еще далеко до обѣдни, площадь передъ соборомъ была полна народа. Тутъ были и старые, и молодые, мужчины, женщины и дѣти — въ заводскихъ одеждахъ, пестрѣвшихъ и рѣзавшихъ глаза всевозможными яркими цвѣтами.

Народъ гудѣлъ. Каждый говорилъ, и разговоры касались заводскаго начальства. Отперли двери въ соборъ, народъ хлынулъ къ собору; но у дверей стояло восемь солдатъ, неизвѣстно какимъ образомъ попавшихъ сюда, которые заперли дверь изнутри.

Соборъ окружили со всѣхъ сторонъ, а боковыя двери были заперты. Толки пошли разные; ругательства слышались далеко.

Пріѣхалъ дьяконъ съ дьяконицей и дѣтьми. Ихъ впустили въ церковь. Начались разсужденія о дьяконицѣ.

— Смотри, какая худоба, а какъ вырядилась!..

— А вотъ ее пошто пустили?

— Напремъ, братцы!

Пріѣхалъ священникъ съ женой и дѣтьми; рабочіе стояли у паперти и на лѣстницѣ, и какъ только отворили двери, человѣкъ пятьдесятъ ворвались въ соборъ. Такъ за священно-служителями и чиновниками, которыхъ пускали безпрепятственно, рабочіе мало-по-малу врывались въ соборъ, и скоро въ соборѣ было очень тѣсно, несмотря на ку-

лаки солдатъ и сабли двухъ казаковъ, пріѣхавшихъ сюда будто бы съ бумагами изъ города!.. Казаки объяснили рабочимъ, что и въ городахъ такъ ведется, что напередъ въ соборы должны попадать начальники, а если праздникъ царскій, то простой народъ вовсе не допускается... Народу вокругъ собора было очень много; всѣ они походили теперь на богомольцевъ, сошедшихся въ престольный праздникъ на ярмарку. Прошелъ часъ, и никто изъ стоявшихъ и толкущихся вокругъ собора не зналъ, что̀ дѣлается въ церкви; стоявшіе у крыльца съ завистью глядѣли на начальниковъ, проходящихъ въ соборъ, и жалѣли о томъ, что они раньше не пробрались къ крыльцу; стоявшіе на ступенькахъ крыльца то и дѣло заглядывали въ соборъ сквозь стекла, сдѣланныя въ дверныхъ рамкахъ. Они ждали, когда дьяконъ будетъ читать бумагу.

— Што?

— Нѣту. Надо быть скоро.

И всѣ плотно столпились передъ крыльцомъ собора; но мѣста было не много, поэтому многіе стояли за оградой.

Отворили двери. Паръ хлынулъ изъ собора и разсѣялся скоро надъ головами народа; изъ церкви слышалось пѣніе, какъ издали.

— Ну, што? — кричали рабочіе, стоявшіе передъ крыльцомъ.

— Значитъ обманули!—говорили задніе.

— Погоди... Попы въ ризахъ на середину идутъ,—подсказывали стоящіе въ дверяхъ собора.

— Што ты! Молебствіе, значитъ.

— Шш... шш... цсъ!...—произнесли стоящіе въ дверяхъ и замахали руками.

Началась толкотня.

«Божію милостью»... послышалось глухо изъ церкви. Мужчины сняли шапки и фуражки, женщины открыли уши, всѣ привстали на цыпочки. Водворилась гробовая тишина.

— Кабы Курносовъ былъ живъ, славно бы прочиталъ,—замѣтили нѣкоторые изъ рабочихъ, недовольные сиплымъ голосомъ дьякона.

Стоящіе назади рабочіе мало-по-малу стали шептаться.

— Эко горе! Вѣдь и сдѣлаютъ же такія церкви, што всѣ люди не умѣщаются.

— Говори! а сколько тысячъ-то издержано? страсть.

— А, долго читаютъ?.. Эка оказія... Вотъ тѣмъ счастье. Хоть бы пробиться какъ,—и говорившій это пролѣзалъ, но на третьемъ шагу его останавливали.

— Куда лѣзешь!

— Молчи!

— Накладемъ въ спину-то!

— Мы стоимъ же! ишь какой баринъ!—крикнула звонко женщина.

— Ишь вѣдь какая широкоротая! Сейчасъ видно—старо-слободская! — проговорилъ ражимъ голосомъ рабочій, желая возстановить тишину. Но тишина уже не возобновлялась. Стали говорить громко; всѣ были недовольны.

— Ничего не слышно, а дьяконъ бумагу держитъ, губами шевелитъ.

— Охрипъ, значитъ!

Наконецъ чтеніе кончилось, кончилась и обѣдня.

Народъ заволновался и повалилъ изъ собора; на площади за оградой поднялся шумъ и говоръ, одни широко размахивали руками, дѣлая крестное знаменіе, другіе махали шапками и платками; ребятишки, глядя на оживленную толпу своихъ отцовъ и небывалую суматоху, присмирѣли; народъ пуще и пуще волновался на площади, площадь загудѣла.

— Слышали; своими ушами слышали: воля, братцы, всѣмъ крѣпостнымъ крестьянамъ,—говорили бывшіе въ церкви, отпыхиваясь.

Изумленіе было на всѣхъ лицахъ.

— Воля! воля! воля!—слышалось въ воздухѣ, и больше ничего нельзя было разобрать. А бывшіе въ церкви говорили:

— Ужъ такъ много тамъ написано, что и не разберешь. Всѣмъ крѣпостнымъ сказана воля, и всѣ отойдутъ въ крестьяне, али куда хошь; отберутся отъ помѣщиковъ черезъ два года...

— Слышь! даромъ отберутъ!

— Куда отберутъ?

— На волю. Куда хошь: хоть въ купцы!—кричали со всѣхъ сторонъ.

— А покосъ?

— Покосы и земля наша!

— Одно, братцы, худо: объ мастеровыхъ не сказано и казенныхъ рабочихъ нѣтъ.

— Не намъ, баютъ, воля!.. Врутъ!.. Это они оттого, что обслышались; сами баютъ, дьяконъ много читалъ.

— Надо дьякона просить снова прочитать.

Между тѣмъ начальство уже разъѣхалось, не обративъ вниманія на волнующійся народъ, которому теперь никакого не было дѣла до управляющаго, приказчика и прочаго начальства.

Въ этотъ день весь рабочій народъ загулялъ на радостяхъ; но не случилось ничего худого, даже не было дракъ. А на другой день никто не пошелъ на работы.

Это встревожило заводоуправленіе. Оно стало бояться того, чтобы рабочіе совсѣмъ не перестали работать и не сдѣлали бы какихъ-нибудь безпорядковъ въ заводѣ. Уговаривать ихъ теперь было поздно. Приказчикъ, бывшій у управляющаго, говорилъ ему:

— Я теперь ничего не могу сдѣлать, потому вы сами старались отклонить мысль отъ воли. Всѣ рабочіе еще въ прошломъ году слышали объ волѣ. Они ее ждали.

— Это все вы разожгли рабочихъ.

— Не я, а вы требовали, чтобъ я не говорилъ имъ ничего. Вы думали, что строгостью вы что-нибудь сдѣлаете. А теперь я вамъ не слуга,—и приказчикъ ушелъ. Онъ очень боялся безпорядковъ; и въ эту же ночь уѣхалъ въ городъ со всѣми бумагами и деньгами, оставивъ дома прислугу, въ томъ числѣ и Глумовыхъ съ Пелагеей Вавиловной.

Когда узналъ объ этомъ управляющій, то сдѣлалъ приказчикомъ Назара Плошкина, зятя Пере-

плетчикова, всѣми рабочими ненавидимаго, но умѣвшаго ладить такъ съ рабочими, что они были не очень взыскательны.

Прошла недѣля, а рабочіе на работы нейдутъ подъ тѣмъ предлогомъ, что они даромъ работать не хотятъ. Заявили приказчику, что они не желаютъ быть подъ командой нынѣшнихъ мастеровъ, нарядчиковъ и штейгеровъ. Въ понедѣльникъ рабочіе стали совѣтоваться, что̀ имъ дѣлать: ѣсть нечего. Пошли толпы къ конторѣ, вошли въ контору и стали просить провіанта, денегъ, заработанныхъ за прошлый мѣсяцъ, и обѣщаясь сегодня же идти на работы. Имъ отказали. Вечеромъ толпы народа самовольно вытащили изъ магазина всю муку и потомъ разошлись по домамъ.

Ночью посланъ былъ нарочный къ главному начальнику горныхъ заводовъ съ донесеніемъ о безпорядкахъ.

Дѣла рабочихъ были въ скверномъ положеніи; взятая ими мука въ куляхъ оказалась съ пескомъ, эту муку они высыпали передъ господскимъ домомъ, у нихъ не было ни сѣна, ни дровъ. Многіе захворали, дѣти и скотъ начали издыхать; толпы народа ходили по заводу, карауля Плошкина и управляющаго. Жены ругали мужей за то, что вся бѣда произошла отъ нихъ, потому что прежде, когда они работали, ничего подобнаго не было. Рабочіе раздѣлились на партіи: одни хотѣли работать, другіе нѣтъ.

Между тѣмъ, какъ Переплетчиковъ уѣхалъ изъ завода, Илья Игнатьичъ опять загулялъ. Домой онъ приходилъ черезъ день или дня черезъ два. Послѣ попойки онъ всегда ласкался къ Пелагеѣ Вавиловнѣ, и мысль жениться на ней росла въ немъ все больше и больше.

Однажды они пили чай.

— Я, Пелагея, вчера ходилъ къ попу. Онъ говоритъ: «я не могу обвѣнчать тебя съ любовницей приказчика». Я къ другому, тотъ ничего, только говоритъ: «ты молодъ, принеси свидѣтельство да бумагу изъ конторы». А въ конторѣ даромъ не даютъ... А славно бы безъ него-то обвѣнчаться.

Пелагея была опытнѣе. Она знала, что приказчикъ долго не пріѣдетъ, но она не довѣряла молодому человѣку, несмотря на всѣ его клятвы.

— Послушай, Иля, а чѣмъ мы жить-то станемъ?

— Вотъ чѣмъ! поѣдемъ въ городъ. Я въ лакеи наймусь. Вѣдь я теперь вольный.

— Кабы у те бумага была такая.

— А манифестъ для чего читали?

— Все-таки безъ бумаги неловко. Да и какое у те имя будетъ: крестьянинъ ты будешь али мастеровой?

— Все равно, хоть кто.

— Ну, а на что мы поѣдемъ?

— А развѣ мало у приказчика вещей?

— Нѣтъ, ужъ ради Христа не воруй.

Въ этотъ день они ничѣмъ не рѣшили.

Ильѣ Игнатьичу скучно было безъ дѣла, и онъ гулялъ.

Куда онъ ни приходилъ, вездѣ говорилъ, что онъ скоро обвѣнчается съ Пелагеей Семихиной, и объ этомъ узнали всѣ въ заводѣ, а новый приказчикъ Плошкинъ переселился въ домъ Переплетчикова, какъ родственникъ; прогналъ Пелагею Вавиловну, а Глумова назначилъ въ работы на рудникъ. Пелагею Вавиловну никто не принималъ жить въ заводѣ, и она ушла на кардонъ, находящійся близко отъ рудника, гдѣ работалъ Глумовъ и куда Пелагея Вавиловна ходила ежедневно. Она знала, что у Ильи Игнатьича есть пятьдесятъ рублей, которые онъ пріобрѣлъ продажею серебряныхъ ложекъ и шубы Переплетчикова разнымъ заводскимъ торгашамъ. Кончилъ Илья Игнатьичъ работу на рудникѣ и сталъ собираться въ городъ. Все было приготовлено, молодые люди нашли попутчика, и вдругъ все разстроилось. Зашелъ Илья Игнатьичъ въ кабакъ съ своимъ попутчикомъ, взялъ полуштофъ и отдалъ двадцати-пяти рублевую бумажку. Бумажка оказалась фальшивою. Все бы это ничего, но въ кабакѣ сидѣли два солдата, которые обязаны были наблюдать за порядками; они, несмотря на мольбу Ильи Игнатьича, сидѣльца и вой Пелагеи, представили Глумова къ исправнику вмѣстѣ съ Пелагеей Вавиловной.

Тамъ они ночевали до утра въ разныхъ мѣстахъ. Наканунѣ отъ Пелагеи отобрали узелъ съ бѣльемъ и платьями, а отъ Ильи Игнатьича шкатулку съ чаемъ и сахаромъ. Позвали Илью Игнатьича къ исправнику въ канцелярію, гдѣ былъ письмоводитель и двое писцовъ.

— Кто ты?—крякнулъ исправникъ.

— Глумовъ.

— А, это не тотъ ли? не родня ли Курносова?—спросилъ онъ письмоводителя.

— Тотъ самый...

— Ну, и ты туда пойдешь! Гдѣ ты взялъ фальшивую бумажку?

— Не знаю.

— Казакъ, сведи его въ баню. Алексѣй Александрычъ, допытайте его.

Подъ ударами розогъ Илью Игнатьича заставили сознаться: самъ онъ дѣлалъ фальшивыя деньги или отъ кого получалъ. Но Илья Игнатьичъ не помнилъ ничего. Ночью пріѣхалъ Переплетчиковъ съ новымъ исправникомъ. Допросы отложили, Плошкинъ былъ отставленъ, выгнанъ изъ дома Переплетчикова и долженъ былъ заплатить за самовольное завладѣніе чужимъ домомъ деньги. Глумова стали судить только за фальшивые билеты. Онъ сперва показывалъ, что нашелъ, только гдѣ—не помнитъ. Его отослали въ городской острогъ. Пелагею Вавиловну наказали снова, и она на другой день оказалась въ бѣгахъ; Колька былъ прогнанъ и жилъ пока у Корчагина.

XXVI.

Вскорѣ послѣ этихъ происшествій въ заводъ пріѣхалъ горный начальникъ съ двумя чиновниками, изъ которыхъ одному было поручено произвести слѣдствіе о бунтѣ рабочихъ, которые будто бы были усмирены солдатами, тогда какъ рабочіе возстановили порядокъ сами до прихода солдатъ. Объявлено было рабочимъ, чтобы незанятые работами собрались въ главную контору. Въ контору пришло очень немного рабочихъ, потому что они боялись расправы.

Поругавъ рабочихъ, горный начальникъ прочиталъ имъ дополнительныя правила о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ вѣдомства министерства финансовъ. Голосъ у него былъ сиповатый, и такъ какъ онъ читалъ скоро, то рабочіе очень мало поняли.

— Поняли?—спросилъ горный начальникъ, кончивъ чтеніе.

— Поняли, да не совсѣмъ! ты читалъ: одни увольняются теперь, а другіе черезъ годъ, третьи черезъ два года.

— Ну! Чего же вамъ еще надо?

— А какъ же тутъ сказано: называть насъ мастеровыми? мы и теперь мастеровые...

— Мастеровой тотъ же крѣпостной!

— Вы... какъ вамъ сказать?.. Если вы будете работать на заводѣ за плату, тогда будете называться мастеровыми, потому что нельзя же назвать васъ мѣщанами или чиновниками.

— Да мы, ваше благородіе, и не желаемъ въ мѣщане. Намъ волю надо, чистую волю...

— Такъ что же вы меня спрашивали? ну, называйтесь сельскими работниками.

— А это што?

— А хлѣбопашествомъ занимайтесь, коли не хотите на заводѣ работать.

— Рады бы заниматься, только никто изъ насъ испоконъ вѣку этимъ не занимался, потому кромѣ покосовъ мы земли не имѣли, да и времени не было на это дѣло.

— Ну, теперь можете идти по домамъ,—сказалъ горный начальникъ.

— Позволь, ваше благородье, еще побезпокоить...—началъ одинъ рабочій.—Теперь вотъ тутъ въ бумагѣ сказано: брать съ насъ за усадьбу шесть цѣлковыхъ. А гдѣ же я эти деньги-то возьму?

— Мы испоконъ вѣку пользовались усадьбой-то...

— Если кто изъ васъ казенный, т. е. числится даннымъ отъ казны въ спомоществованіе владѣльцу, тотъ не будетъ платить деньги.

— А чѣмъ я виноватъ, коли я въ крѣпости состою?

— Опять за покосъ, што тутъ сказано...

— Вамъ послѣ растолкуютъ. Идите.

Рабочіе пошли и долго толковали у конторы.

— Это просто выдумки. Это они душу нашу дотягиваютъ...

— Можетъ, это онъ вретъ. Ну, какъ теперь: я домъ построилъ на Филатовой землѣ: деньги ему значитъ заплатилъ, а съ меня будутъ брать сызнова.

— За покосъ, сказано, урокъ надо отбывать.

Недоумѣніе во всемъ заводѣ росло все больше и больше. Дополнительныя правила и самый манифестъ были прочитаны нѣсколько разъ въ каждомъ домѣ. Но понять положеніе могли немногіе. Особенно на первыхъ порахъ положеніе рабочихъ было трудное: идти изъ завода въ другое мѣсто они не могли, потому что вездѣ одинъ исходъ—работа, нужно было работать на такихъ же условіяхъ, и приходилось оставаться тутъ же, гдѣ они родились. Провіанту не отпускали, деньги выдавали черезъ двѣ недѣли и черезъ мѣсяцъ, но выдача по-старому производилась неаккуратно, потому что касса заводоуправленія было пуста.

Всѣхъ особенно мучило то: какъ назвать себя? Пріѣхалъ мировой посредникъ, прочиталъ рабочимъ въ три недѣли положеніе объ устройствѣ крестьянъ, освобожденныхъ отъ крѣпостной зависимости, и сталъ спрашивать: будутъ ли они робить на заводъ.

— Какъ не робить? робить надо, потому мы безъ работы не можемъ жить.

— Такъ кто желаетъ въ мастеровые?

— Никто не желаетъ въ мастеровые.

Долго бился съ рабочими посредникъ, но—онъ сынъ помѣщика, смотрѣвшій на крестьянъ, какъ на крѣпостныхъ, не понималъ жизни горнорабочихъ, о которыхъ онъ до сихъ поръ не имѣлъ никакого понятія. Оказывалось то, что его не понимали рабочіе, и онъ не понималъ ихъ, а изъ этого выходило то, что рабочіе думали, что посредникъ держитъ сторону заводоуправленія.

Сначала посредникъ горячо принялся за свое дѣло, но потомъ такъ охладѣлъ, что заставлялъ подолгу ждать себя, рѣзко говорилъ съ рабочими, пропуская мимо ушей жалобы на стѣсненіе ихъ мастерами, наказанія безъ вины розгами. На просьбы рабочихъ объяснить имъ что-нибудь, посредникъ говорилъ; «я ужъ вамъ говорилъ!» и уходилъ въ другую комнату, а потомъ уѣзжалъ къ управляющему. Кромѣ этого онъ часто разъѣзжалъ по другимъ заводамъ (катался, какъ выражались рабочіе), и его рѣдко можно было застать дома, гдѣ всѣми дѣлами заправлялъ писарь, плутъ изъ плутовъ, а потомъ его долго не видали рабочіе и посылали просьбы къ нему за триста верстъ.

Тѣ, которые выслуживали срокъ, были уволены, но попрежнему занимались работами. Это были уже совсѣмъ вольные, и, глядя на нихъ, рабочіе стали дожидать себѣ чистой воли. Но эти вольные не считали себя чисто вольными на томъ основаніи, что они должны платить за усадьбы деньги, за покосы работать.

Непониманіе съ одной стороны, неумѣнье объяснить съ другой—породили неизбѣжное броженіе въ массахъ. Явились люди, которые старались мутить и безъ того мутную воду.

Чаще прежняго стали повторяться убійства и грабежи, такъ что начальство приходило въ затрудненіе: что дѣлать съ рабочими и какими мѣрами водворить порядокъ? Заводоуправленіе рѣшилось для примѣра разыскать и наказать виновныхъ. Виновныхъ, по указанію Плошкина, нашлось много: тутъ были всѣ его враги, и въ число ихъ попалъ Перевозчиковъ; тутъ же оказалось человѣкъ тридцать рабочихъ, въ томъ числѣ и Корчагинъ. Въ дѣлѣ много было собрано уликъ противъ Перевозчикова, но онъ такъ легко отдѣлался, представилъ такія записки управляющаго и разные счеты, что слѣдователи стали втупикъ. Они жили въ господскомъ домѣ, играли въ карты съ управляющимъ и инженерами, и потому имъ неловко казалось запутывать дѣло во вредъ управляющему.

Думали, думали они и свели дѣло къ тому, что

нѣсколько человѣкъ рабочихъ, напившись пьяны, растаскали ночью муку изъ магазина и что эти рабочіе уже сданы въ солдаты до пріѣзда слѣдователей; затѣмъ власти уѣхали, а Корчагинъ съ двумя рабочими ушелъ въ городъ.

XXVII.

Въ больницѣ Прасковья Игнатьевна пролежала три мѣсяца въ двухъ палатахъ. Сосѣди ея были женщины разныхъ званій, возрастовъ и характеровъ. Крикъ, разговоры и оханья больныхъ не прекращались цѣлый день, такъ что большинство больныхъ постоянно протестовало противъ кричащихъ и хохочущихъ дѣвицъ, проводящихъ время въ куреніи папиросъ, игрѣ въ карты и въ разговорахъ съ разными *родственниками*. Какъ проводила время Курносова въ больницѣ—описывать не стоитъ, только, какъ водится въ каждомъ обществѣ, она имѣла на третій мѣсяцъ своего пребыванія въ больницѣ хорошую пріятельницу, швею, но ханжу, хваставшуюся знакомствомъ съ молодыми монахинями. Эта женщина очень была дружна съ ней, много надавала ей хорошихъ совѣтовъ и доказывала, что если она будетъ робѣть, то никакого мѣста не найдетъ. Курносову стали выписывать изъ больницы, пріятельница дала ей записку къ своей сестрѣ, но та была пьяна въ этотъ день и очень не понравилась Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

Опять начались ея похожденія по городу, выпрашиваніе милостыни и ночевки подъ небеснымъ навѣсомъ. Въ это тяжелое для нея время она много видѣла гадостей въ городѣ... Не-разъ вечеромъ она слышала отъ дамъ въ шляпкахъ и кринолинахъ такія слова, которыя говорятъ съ досады мужчины; не разъ къ ней приставали мужчины, и какъ она ни была бѣдна, она не допустила себя пасть и къ ней не приставала никакая грязь.

Однажды вечеромъ она шла домой. По ея одеждѣ видно было, что она нищенка. Она очень устала и сѣла на тротуаръ противъ одного деревяннаго пятиэтажнаго дома съ бѣлыми занавѣсками въ окнахъ. Окно было отворено, и около него сидѣли двѣ, повидимому, дѣвушки и, играя въ карты, звонко хохотали. Курносовой обидно сдѣлалось. Ей припомнились прежніе годы, когда она также играла съ подругами и хохотала. Потомъ у нея забилось сердце: припомнился Курносовъ, котораго изъ-за нея замучили... Наконецъ вздумала она и о Корчагинѣ.

«Кабы не онъ», думала она, «не была бы я въ этомъ проклятомъ городѣ. Сколько горя-то, Господи, я приняла здѣсь! И зачѣмъ это онъ бросилъ меня, окаянный»?..

— Эй, ты!.. — вдругъ услышала она и оглянулась: нѣтъ никого, только дѣвицы хохочутъ. Въ это время ихъ было три.

— Ты чево тутъ сидишь?—сказала одна Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

— А што?

— А што? Али мужчинъ отъ насъ отбивать вздумала. — Прасковья Игнатьевна встала и поплелась, но ее остановила одна изъ дѣвицъ.

— Заходи къ намъ,—сказала она.

— Зачѣмъ?

— У насъ весело.

Просковья Игнатьевна постояла, подумала и пошла дальше... На другой день, часу въ первомъ, она зашла въ одинъ домъ попросить милостыни. Тамъ немолодая женщина сказала ей:

— Чѣмъ по міру-то шататься, шла бы на мѣсто.

— Не принимаютъ, тетушка: я не здѣшняя.

— То-то нездѣшняя, поди заводская какая?

— Таракановская.

— Уже это сразу видно. У меня вонъ четыре дѣвки живутъ, всѣ—таракановскія. Каждая изъ нихъ по рублю, а когда и по три въ день зарабатываетъ.

Курносова удивилась.

— Хорошее у те, тетушка, мѣсто... А вотъ я, дура набитая, и копейки мѣдной не достану. Я бы все стала дѣлать, только бы ты кормила меня...— говорила со слезами Курносова.

— Поди туда въ номеръ.

Курносова поклонилась ей въ ноги, за что и получила названіе дуры.

— Поди, говорятъ, въ номеръ.

— Ужъ какъ я тебѣ благодарна...—говорила со слезами она, не слушая хозяйки. Въ это время изъ двери на лѣво вышла дѣвушка, лѣтъ восемнадцати, въ одной рубахѣ, съ растрепанными волосами. Она, какъ видно, только-что пробудилась.

— Катя, уведи ее въ номеръ.

— Это на мѣсто Сашки?

— Ну да. Да не болтай ей много-то, она еще дура.

— А!—проговорила Катя и увела удивленную Курносову узенькимъ темнымъ коридорчикомъ съ четырьмя дверьми на лѣво въ темную и небольшую комнату.

— Посиди здѣсь, я умоюсь и приду.

— Ладно.

— А ты изъ какихъ?

— Я заводская, таракановская.

— Замужняя али дѣвка?

Прасковья Игнатьевна сказала. Катя ушла. Стала Прасковья Игнатьевна смотрѣть на свое новое жилище. «Ужъ чево-то больно темно. Што жъ это онѣ въ теми-то такой дѣлаютъ? И вдругъ ей почему-то страшно сдѣлалось, почему-то противна сдѣлалась эта комната. Она задумалась; на нее нашелъ столбнякъ. Черезъ нѣсколько времени, осмотрѣвшись кругомъ и наслушавшись скаредныхъ рѣчей Кати, Курносова догадалась, въ чемъ дѣло, и опрометью пустилась бѣжать изъ позорнаго дома.

На другой день снова Прасковья Игнатьевна ходила по рынку и, протягивая руки барынямъ, говорила:

— Матушка-барыня, не возьмешь ли ты меня въ работу?

Много она переспросила барынь, и только одна заговорила съ нею.

— Какую тебѣ работу?

— Хоть какую-нибудь.

— Да ты заводская што ли?

— Да... возьми, матушка.

— Мнѣ нужна работница... Ты умѣешь бѣлье стирать?

— Дома стирала. А у васъ не знаю какъ; ты покажи—я все сдѣлаю.

— А сколько бы ты взяла?

— А сколько дашь, то и ладно. Я много буду тебѣ благодарна, матушка.

— Ты не причитай: я не люблю этого. Не первую я тебя нанимаю. А ты не воровка?

— Ой! убей меня царица небесная, штобы я когда што-нибудь у маменьки безъ спросу взяла.

— А ты не живала въ людяхъ-то?

— Нѣтъ.

— То-то смотри... Хорошо будешь служить, три рубля на ассигнаціи положу... Работы у меня не много.

Курносова, несмотря на грязь, повалилась въ ноги барынѣ. Это изумило барыню, и она, подавая ей корзинку, въ которой лежали говядина, яйца и капустный витокъ, сказала:

— Возьми это да иди за мной. Смотри, не отставай.

— А я тебя забыла спросить, какъ зовутъ-то?— спросила вдругъ барыня.

Курносова сказала.

— А вотъ я еще забыла спросить: билетъ есть?

— Какъ же, матушка.

— То-то. Ономедни эдакъ безъ пачпорту взяли одну, такъ она шаль у меня украла. Мужъ ругалъ-ругалъ меня изъ-за канальи... А у тебя мужъ есть?

— Нѣту, померъ.

— Ну, это ничево. Смотри, штобы къ тебѣ не ходили разные любовники эти...

— Ой, какъ можно!.. Я вѣдь не здѣшняя.

— Будешь хороша, мы не обидимъ тебя. Мой мужъ самъ столоначальникъ горнаго правленья, титулярный совѣтникъ.

«Ужъ я такъ сразу поняла, што она большая барыня... Эко горе! если бы мать знала, мужъ ея похлопоталъ бы»... думала Прасковья Игнатьевна.

У этой чиновницы домъ былъ свой, т. е. купчая совершена на нее, а деньги платилъ мужъ. Домъ полукаменный, въ пять оконъ въ каждомъ этажѣ, съ вида очень приглядный, а внутри расположенный по вкусу хозяина такъ, что въ каждомъ этажѣ было по двѣ квартиры, и потому считавшійся для нѣкоторыхъ состоятельныхъ людей неудобнымъ, а бѣднымъ очень дорогимъ по квартирамъ. Однако хозяева не обижали себя: они занимали три комнаты, самыя лучшія въ домѣ, съ окнами, выходящими на площадь. Въ кухнѣ, съ обыкновенной большой русской печью, полатей не было, да и кухня была устроена такъ, что окно выходило въ коридорчикъ, изъ котораго былъ ходъ въ другую квартиру въ двѣ комнаты съ кухней, отъ чего въ кухнѣ было не совсѣмъ свѣтло.

Семенъ Семенычъ Панкратовъ былъ уже десятый годъ столоначальникомъ горнаго правленья и считался за доку и дѣльца. Онъ любилъ играть въ преферансъ по копеечкѣ, такъ что у него разъ въ недѣлю собирались сослуживцы. Гости были друзья, вели себя смирно, и никогда тишина въ домѣ не нарушалась Семенъ Семенычемъ или его гостями, потому что, начавъ службу съ писца и прошедши всѣ мытарства до столоначальника, онъ на все смотрѣлъ здраво и просто, никогда не выходилъ изъ себя. Даже въ его одеждѣ высказывалась овечья кротость: онъ постоянно ходилъ на службу въ форменномъ сюртукѣ съ оловянными пуговицами и стоячимъ воротникомъ съ голубымъ кантомъ; лѣтомъ надѣвалъ шинель, тоже съ стоячимъ воротникомъ и съ оловянными пуговицами, зимой въ тулупѣ изъ сибирскихъ мерлушекъ; дома при небольшихъ или равныхъ ему гостяхъ носилъ халатъ и вязаную ермолку на головѣ; при большихъ гостяхъ надѣвалъ форменный сюртукъ, который застегивалъ на три пуговицы: верхнюю, среднюю и нижнюю; безъ гостей всегда ходилъ въ ситцевой рубашкѣ и черныхъ штанахъ босикомъ.

Вставалъ онъ рано, въ пять часовъ утра; въ шесть пилъ чай, а въ семь онъ уже занимался сочиненіемъ докладовъ и въ десять уходилъ въ правленіе. Послѣ обѣда онъ постоянно спалъ до шести часовъ, когда въ гостиной уже шипѣлъ самоваръ. Послѣ чаю, если онъ не уходилъ играть въ карты или если у него не было гостей, занимался чтеніемъ канцелярскихъ бумагъ. Книгъ онъ никакихъ не читалъ: «терпѣть не могу эту фанаберію», говорилъ онъ.

Совсѣмъ другое—Варвара Андреевна, его супруга. Она съ самаго утра была на ногахъ, и это не нравилось кухаркамъ, потому что она вездѣ совалась, кричала, постоянно указывала.

Сколько ни перебывало у нея кухарокъ съ тѣхъ поръ, какъ мужъ ея сдѣлался столоначальникомъ, всѣ удивлялись, что она вставала раньше ихъ и постоянно будила ихъ пинками, говоря: «ишь, тресья! Варыня встала, а она спитъ! Вставай, ставь самоваръ!» Если самъ Панкратовъ не спалъ, то кричалъ изъ спальни: «Опять!.. Пошла языкъ чесать ни свѣтъ, ни заря». Однимъ словомъ, эта женщина не могла, кажется, ни одной минуты жить безъ дѣла: во все входила сама, за всѣмъ надзирала; ей казалось, что она только одна хорошо дѣлаетъ, и прислуга ея никакъ не можетъ понять того, что она сама ей тысячу разъ указывала. Отъ этого происходили частыя ссоры съ кухарками, оканчивавшіяся всегда тѣмъ, что кухарка уходила. Умаявшись и накричавшись досыта, она послѣ обѣда всегда ложилась спать часа на два, и въ это время ее никто не смѣлъ будить, да и къ ней въ это время никто не ходилъ. Впрочемъ бывали и исключенія у обоихъ супруговъ; лѣтомъ въ хорошій день они любили подышать свѣжимъ воздухомъ, прокатиться по озеру, находящемуся отъ города въ четырехъ верстахъ, порыбачить, напиться чаю на свѣжемъ воздухѣ и съѣсть уху изъ свѣжихъ карасей. Послѣ вечерняго чаю Варвару Андреевну томила скука, и она подзывала къ себѣ кухарку и, разговаривая съ ней, починивала или вязала чулокъ, при чемъ и кухарка должна была, глядя на хозяйку, что-нибудь дѣлать, а если у кухарки не было работы для себя или она, утомившись, хотѣла спать, хозяйка давала кухаркѣ надвязывать ей чулокъ,

носки или сбивать сметану въ кринкѣ для масла. Варвара Андреевна очень ласкова была съ прислугой вечеромъ, такъ что прислуга забывала всѣ непріятности, сдѣланныя хозяйкой днемъ, и удивлялась: отчего хозяйка утромъ злая такая, что отъ нея хочется бѣжать, а вечеромъ такая добрая, что ни за что бы не отошелъ отъ нея. А все это происходило отъ того, что вечеромъ у нея не было заботы: пообѣдала она хорошо, ужинъ стоитъ въ печкѣ, варить и мыть нечего, все сдѣлано,—на душѣ легко, она чувствуетъ довольство и хочетъ съ кѣмъ-нибудь отвести душу.

Таковы были Панкратовы, жаловавшіеся своимъ гостямъ, обремененнымъ большими семействами, что Господь Богъ не даетъ имъ дѣтей. На это гости, слышавшіе отъ несчастныхъ супруговъ сто разъ эту пѣсню, въ послѣднее время стали говорить имъ, что у нихъ зато есть двѣ отличныя коровы, двадцать одна курица и пять пѣтуховъ.

Кромѣ этого у Панкратовыхъ былъ огородъ въ двадцать пять саженъ длины и въ десять ширины; половину огорода засаживала Варвара Андреевна разными разностями, и поэтому ея заботы и хлопоты, а равно и кухарки, удвоивались.

Еще есть одна черта въ Варварѣ Андреевнѣ: она ни за что не пуститъ въ свой домъ дѣвицу или холостого мужчину, будь онъ хоть столоначальникъ. Она очень хорошо знала, что большая часть столоначальниковъ люди женатые или вдовцы, а другіе — холостые — живутъ шикарно и не пойдутъ въ ея домъ. Почему не пойдутъ, — она предполагала изъ того, что вотъ уже семь лѣтъ она владѣетъ домомъ, и ни одинъ холостой столоначальникъ не являлся нанимать у нея квартиру. Холостыхъ мужчинъ и дѣвицъ она потому не желала имѣть своими квартирантами, что они испоганятъ ея домъ, т. е. къ мужчинамъ будутъ ходить любовницы, а къ дѣвицамъ любовники, и противъ этого никакой надзоръ не будетъ имѣть силы. Теперь у нея вверху, въ другой половинѣ, живетъ семейный секретарь магистрата уже два года, а внизу, въ одной половинѣ—семейный помощникъ бухгалтера казначейства; другая половина стоитъ пустая, и окна закрыты ставнями,—что означаетъ. что квартира отдается. Бумажки надъ воротами или на стеклахъ въ рамахъ не введены еще въ этомъ городѣ.

Прослужила Прасковья Игнатьевна у Панкратовыхъ двѣ недѣли. Первые три дня хозяйка была съ ней очень любезна; показывала ей, какъ посуду мыть, какъ самоваръ ставить, какъ гостямъ чай подносить; учила ее, какъ ей говорить по-городски. А Прасковья Игнатьевна многихъ словъ не понимала. Скажетъ ей хозяйка: «поди-ко, принеси кастрюли», или «принеси миску»,—она выпучитъ глаза, а спросить стыдится. Бьется, бьется хозяйка, насилу растолкуетъ. Надъ ея выговоромъ до слезъ смѣялись не только Панкратовы, но и гости, и всѣ прозвали ее въ насмѣшку *сарапарушкой*, потому что слово *черепушка* она никакъ не могла выговорить.

Работы ей было много: она все дѣлала; хозяйка только толкалась, указывала, горячилась, кричала, при чемъ Курносова не одну тарелку и не одно блюдечко разбила. Но работа ее не мучила,—ей досадно было, зачѣмъ хозяйка постоянно трется около нея, когда она сама знаетъ, что̀ дѣлать; зачѣмъ хозяйка сердится и говоритъ, что она неряха, что она не умѣетъ даже половъ мыть, въ поганой водѣ посуду полощетъ и пр. Все это сносила Прасковья Игнатьевна молчаливо, и это нравилось хозяйкѣ. Разъ Прасковья Игнатьевна подслушала разговоръ хозяйки съ гостями.

— Славная мнѣ кухарчонка попалась! Все у нея кипитъ въ рукахъ,—проворная! И какая смирная: кричишь, кричишь — молчитъ. Однако разъ замѣтила слезы... Инда жалко стало! Не знаю, что дальше будетъ.

Это утѣшило Прасковью Игнатьевну, и она заплакала отъ радости. Она сама находила, что мѣсто ея хорошее: утромъ ее поятъ чаемъ съ булкой, обѣдаетъ и ужинаетъ она въ волю, и хотя она одна кушаетъ — зато ей спокойнѣе одной кушать. Одно обидно, хозяйка попрекаетъ, что она безъ спросу хлѣбъ ѣстъ. А Курносова часто хотѣла ѣсть, и за ней водился такой грѣшокъ, что она ѣла воровски. Зато вечеромъ хозяйка была съ ней любезна и говорила ей кое-что о своей жизни. Курносова уже разсказала ей свою жизнь, и хозяйка жалѣла ее.

— Я ужъ теперь, барыня, ни за кого не пойду замужъ, — говорила обыкновенно Прасковья Игнатьевна, когда разговоръ касался этого предмета.

— Ну, ты этого не говори. Только безъ старыхъ людей ни шагу... Это я на себѣ испытала. Мало ли что тебѣ человѣкъ наговоритъ. Вотъ ты испытала—и казнись.

— Нѣтъ, барыня, ни за что въ свѣтѣ я не пойду замужъ. Я отъ васъ ни за что не уйду.

Такъ и привыкла Прасковья Игнатьевна къ Панкратихѣ. Несмотря на то, что Варвара Андреевна всячески налегала на нее, она все сносила молча, несмотря на разныя испытанія, въ родѣ того, что на полу лежали мѣдныя деньги, но Курносова тотчасъ отдавала находку. Курносова безропотно работала и вставала безъ ропота часто ночью, если кошка скребла двери.

Панкратовъ тоже хвалилъ Прасковью Игнатьевну и однажды сказалъ ей:

— Молодецъ ты, баба! хорошо, если-бъ вышла замужъ за хорошаго человѣка; я пожалуй посватаю.

— Я, баринъ, ни за кого не пойду.

— Ой ли! Сердце, братъ, не камень, съ нимъ не совладаешь—вотъ что! Не вѣкъ же тебѣ въ работницахъ жить. Поди, сама любишь своимъ хозяйствомъ заниматься?

— Гдѣ ужъ мнѣ...

Разговоры объ этомъ стали повторяться чаще. Панкратовъ, видя упорство Курносовой, сталъ поддразнивать ее замужествомъ, а ее это злило. Она думала, что на свѣтѣ нѣтъ справедливыхъ, т. е. честныхъ людей, и въ ея голову крѣпко засѣла

мысль никогда не довѣряться мужчинамъ. Однако ей хотѣлось самой заниматься хозяйствомъ, имѣть корову, овечекъ, курицъ. А такъ какъ для этого ей нужно быть женой, то нерѣдко ее брало раздумье, и счастье женщинъ въ родѣ Панкратихи приводило ее въ долгое уныніе, въ которомъ она жаловалась на свою судьбу.

Прасковья Игнатьевна и въ праздники сидѣла дома. Хозяйка иногда говорила ей, чтобы она шла на бульваръ; но ей не хотѣлось идти.

— Што мнѣ тамъ? и такъ хорошо,—говорила она обыкновенно. Ей не хотѣлось идти на гулянья, потому во-первыхъ, что ей совѣстно было выйти изъ дома: «я нищенкой ходила по городу; всѣ меня обзовутъ нищенкой»; а во-вторыхъ, какъ-то она пошла на бульваръ, послушала музыку, посмотрѣла, какъ люди веселятся, — сердце у нея защемило, сдѣлалось такъ грустно, такъ грустно, что она дала себѣ слово ни за что не ходить на гулянья.

Къ Пасхѣ хозяйка подарила ей платокъ на голову и ситцу на платье, и это такъ ее обрадовало, что она со слезами долго разглядывала свою обнову, и ничто ее на праздникѣ не веселило, какъ новое платье, сшитое ею по указанію хозяйки.

Она считала себя счастливой женщиною, и когда ушли изъ дому хозяева, она долго пѣла прежде любимую ею пѣсню: «всѣ-то ноченьки я, млада, просидѣла».

Потомъ ей вздумалось посмотрѣться въ зеркало. Она посмотрѣла и удивилась:

— Господи! Экое лицо-то у меня нехорошее: кожа да кости!

Но на этотъ разъ она не заплакала, а запѣла опять свою пѣсню. Только подъ вечеръ ей сдѣлалось скучно, и она съ нетерпѣніемъ ждала хозяевъ, думая, что они добрые люди и Богъ сжалился надъ ней, потому что безъ нихъ она пропала бы.

XXVIII.

Лѣтомъ Корчагинъ пріѣхалъ въ городъ и скоро разыскалъ домъ Панкратова. Хозяйка суетилась около печки, Курносова мела въ комнатахъ полъ.

— Богъ на помочь! Добраго здоровья, — сказалъ Корчагинъ хозяйкѣ.

Хозяйка слегка поклонилась, утерла губы фартукомъ, посмотрѣла на него пристально и спросила:

— Чево тебѣ?

— Прасковья Курносова здѣсь живетъ?..

— Здѣсь. На што тебѣ?

— Я таракановскій!

— Ну?

— Такъ поговорить бы мнѣ хотѣлось съ ней насчетъ ея братьевъ.

— Подожди, она полы вымететъ.

Скоро пришла Курносова съ вѣникомъ; пристально посмотрѣла она на Корчагина, поморщилась и пошла къ печкѣ. Корчагинъ удивился: лицо Курносовой худое, блѣдное, глаза впали; но она бойка, одѣта чисто.

— Принеси-ко воды-то! не знаешь што ли, въ кастрюли воды надо налить... Ишь ржавчина. Всю кастрюлю, негодная, испортила! смотри, не течетъ ли ужъ?

— Хозяюшка, нельзя ли отпустить Прасковью Игнатьевну сегодня къ мастеру Подкорытову?— сказалъ Корчагинъ, которому можно было слышать ворчанье хозяйки.

— На што это?—крикнула хозяйка.

— Важныя дѣла, хозяюшка.

— Говори здѣсь.

— Такія дѣла, что страсть: съ братьями ея несчастіе случилось.

— Какое? — спросила Прасковья Игнатьевна, посмотрѣвъ на Корчагина.

— Приходи послѣ обѣда — отпущу. А теперь уходи съ Богомъ, — сказала хозяйка. Корчагинъ вышелъ, хозяйка проводила его до воротъ.

«Что бы это значило, што Курносова даже и глядѣть на меня не хочетъ. Али она больно на меня разсердилась. Ну, и жизнь же ея!.. Если это все такъ каждый день, то должно быть больно скверно... Надо ее выручать», думалъ Корчагинъ, стоя у воротъ Панкратова; сердце его сильно билось. Онъ очень обрадовался, что увидалъ Курносову, но ему было досадно, что онъ не могъ съ ней ничего поговорить, и, идя на квартиру, онъ думалъ, какъ бы начать разговоръ о томъ, что онъ весь измучился объ ней, и какъ бы было хорошо, если бы она вышла за него замужъ. Эти думы не покидали его до четвертаго часу, и часы эти онъ проводилъ тревожно, хотя и разговаривалъ съ знакомыми.

Курносова тоже мучилась; ее безпокоили братья, о которыхъ въ послѣднее время она очень много думала, и особенно думала о меньшомъ, Николаѣ, котораго ей хотѣлось пристроить въ городъ. Расположенія или привязанности къ Корчагину теперь у нея никакой не было; но она не сердилась уже на него, и ей только хотѣлось высказать то, что она по его милости перенесла много горя.

Въ четвертомъ часу, сходивъ въ кухню, для того чтобы Курносова одѣвалась, Корчагинъ сталъ поджидать ее за воротами.

На Курносовой надѣто было платье, подаренное ей Панкратихой, и платокъ на головѣ. Сердце точно сжалось у Корчагина при видѣ исхудалой Прасковьи Игнатьевны.

— Здравствуй, Прасковья Игнатьевна. Ты нынче барыней поживаешь... Давеча и смотрѣть-то не хотѣла на меня.

— Стоитъ на эдакого смотрѣть.

— Что дѣлать, Прасковья Игнатьевна! у меня сестра не только что домъ сожгла, а даже научила дядю и мѣсто отнять. Совсѣмъ я разорился по ея милости.

Они шли.

— Такъ и надо!—сказала Курносова.

— За что ты на меня сердишься, Прасковья Игнатьевна?

Она прервала его; но онъ не далъ ей говорить.

— И зачѣмъ тебѣ было выходить изъ дому, зачѣмъ было не подождать меня?

— Да вы съ дядей нарочно меня туда привезли и бросили... Не забуду я этого... Што же ты не говоришь о братьяхъ? Вызывать вызывалъ... а... Ишь! оправданіе нашелъ. Поди и ихъ сгубили...

— Говорю тебѣ—напрасно сердишься... А съ братьями твоими горе случилось великое. Не надо бы объ этомъ и знать-то тебѣ.

— Небось опять травить хошь! Нѣтъ, теперь ужъ не та пора.

Василій Васильевичъ начиналъ сердиться, но не подавалъ вида, что сердится.

— Видишь ли ты, какое дѣло случилось, и всему этому виноватъ приказчикъ... Какъ мы тебя свезли въ городъ, онъ и давай меня давить: въ куренные протурилъ.

— Такъ и надо. Мой отецъ тоже въ рудникѣ робилъ.

— Ты слушай!.. Ну, послѣ того, какъ онъ не могъ тебя выцарапать изъ города, взялъ къ себѣ Пелагею Семихину.

— Пелагею! Господи!—чуть не крикнула Прасковья Игнатьевна.

— Ну, а потомъ онъ взялъ къ себѣ Илью, твоего брата, въ лакеи.

— Ну?

— Ну, вотъ такъ и жили Илья и Пелагея у приказчика до той поры, какъ волю объявили въ заводѣ, и понравились они другъ другу.

— Што ты? Это Илья-то? Вѣдь ему еще девятнадцати лѣтъ нѣту.

— Ну, это пустяки, потому Илья-то и раньше хотѣлъ жениться на Аксиньѣ Горюновой. Все это было ладно, да грѣхъ случился. Какъ волю прочитали, приказчикъ разсорился съ Назаромъ Плошкинымъ и съ управляющимъ и уѣхалъ въ городъ. А управляющій сдѣлалъ приказчикомъ Назара. Ну, Илья загулялъ и говоритъ всѣмъ, что онъ женихъ Пелагеи Семихиной, и сталъ продавать приказчицкія вещи, да ему надавали фальшивыхъ денегъ, за которыя онъ и сидитъ въ острогѣ.

— Господи! Да што это за напасть...—Курносова заплакала.

— Этого еще недоставало! Господи, когда это конецъ-то будетъ, право... Я и раньше думала, что изъ Ильки не будетъ толку.

Потомъ Корчагинъ собралъ ей заводскія новости, сказалъ, что онъ въ заводъ не поѣдетъ, а Подкорытовъ рекомендовалъ его одному мастеру, и онъ будетъ получать въ мѣсяцъ рублей пятнадцать. Но это не развеселило Курносову.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна. Мнѣ надо съ тобой еще кое-о-чемъ поговорить, да ты теперь встревожена больно... Попроси своего-то хозяина, чтобъ онъ выхлопоталъ тебѣ бумагу отъ повѣреннаго, да не поможетъ ли онъ твоимъ братьямъ... На Тимофея-то Петровича надежда плоха, онъ нонѣ послѣ жены все пьянствуетъ.

А тѣмъ временемъ перевели Илью Игнатьича въ городской острогъ, о чемъ Корчагинъ немедленно извѣстилъ Курносову. Илья Глумовъ заболѣлъ и отправленъ былъ въ лазаретъ. Курносова навѣщала его и плакала. Корчагинъ молчалъ. Его тоже давило горе.

Вдругъ Илья Игнатьичъ сказалъ сестрѣ:

— Ты не реви!.. Вонъ Вася, твой женихъ, не реветъ же... Женихъ, скоро у те свадьба-то?

Корчагина подернуло, онъ поблѣднѣлъ; Курносову затрясло, и оба они скоро вышли изъ острожнаго лазарета, а, выйдя на улицу, Курносова сказала Корчагину:

— Ты съ какой стати меня невѣстой называешь?.. Ишь, мнѣ даже не сказалъ...

— Прасковья Игнатьевна, радость моя,—говорилъ со слезами Корчагинъ.

Прасковья Игнатьевна пошла отъ него чуть не бѣгомъ.

Корчагинъ стоялъ какъ помѣшанный и не зналъ, что ему сказать Прасковьѣ Игнатьевнѣ.

Прошелъ мѣсяцъ. Корчагинъ и Курносова нигдѣ не встрѣчались.

Корчагинъ заработалъ еще кромѣ хозяйской платы пять рублей и весьма похудѣлъ отъ того, что всѣ его хлопоты за Курносову не стоили даже благодарности. «Не люди, такъ Богъ знаетъ, сколько я мучился, какъ любилъ ее и для чего»... Но онъ все-таки надѣялся добиться чего-нибудь. Случай скоро представился: работалъ онъ на одного Панкратовскаго жильца и бывалъ у него часто. Скоро онъ познакомился со старой кухаркой, и такъ какъ мастеръ, у котораго онъ работалъ, жилъ близко отъ дома Панкратовыхъ, то онъ съ кухаркой видѣлся часто.

— Ну что?—спрашивалъ онъ разъ старуху.

— Да господа во дворѣ: «што, говорю, нейдешь, дѣвка, замужъ?» Она этто глаза вытаращила и говоритъ: «ужъ я дала себѣ слово ни за кого не выходить замужъ и не выйду. Будь тутъ хоть кто. Всѣ, говоритъ, мужчины плуты». Ну, я говорю, «ты еще мало знаешь людей». — «Видала, говоритъ, много». Я и говорю: «ну вотъ вашъ Корчагинъ, чѣмъ не женихъ. Одно слово—мастеръ, да и старался сколько для тебя». Она и говоритъ: «все это я передумала, да кабы онъ одну штуку не сдѣлалъ, пошла бы за него».—«Какую?» спрашиваю.—«Про это, говоритъ, онъ самъ знаетъ. А я, говоритъ, проживу и безъ мужа, потому работой буду кормиться», и на меня указала: «ты, говоритъ, Пантелеевна, ужъ старуха, а все-таки въ людяхъ живешь, работаешь. Такъ и я буду маяться»...

— Горда вишь она больно,—заключила старуха.

Корчагинъ очень разобидѣлся этимъ, но мало-по-малу, какъ раздумался, сталъ приходить къ тому заключенію, что Курносова пожалуй и права, и ее теперь упрашивать не стоитъ. «Я ей не полюбился, должно быть, сначала. А это, я знаю, потому, что она и прежде неохотно со мной разговаривала. Значитъ, я насильно хотѣлъ жениться на ней. А насильно милому не быть. Што жъ такое! Дѣвочекъ много... Только кромѣ нея мнѣ ни одна дѣвка не нравится, да и она честная, работящая дѣвка, съ ней легче бы было горе мыкать... Досадно, что та, кого ты любишь, считаетъ тебя ворогомъ... И что я за дуракъ, не сообразилъ рань-

ше объ этомъ?.. А што я для нея сдѣлалъ—сдѣлалъ бы то же всякій съ моимъ характеромъ.

Корчагинъ не загулялъ съ горя, а сталъ крѣпче работать. Товарищи, прослышавшіе отъ кухарки помощника бухгалтера объ его интригѣ, подсмѣивались надъ нимъ; но съ нимъ шутить было неловко, и они изрѣдка только отъ нечего дѣлать языкъ чесали.

Шелъ какъ-то Корчагинъ по городу, неся столъ на головѣ. Попалась ему навстрѣчу Курносова. Онъ даже не мигнулъ и прошелъ мимо нея молча. Курносова также не поклонилась ему, а когда онъ прошелъ, оглянулась и долго стояла, глядя на удаляющагося Корчагина.

«Осердился... А вѣдь я дура: онъ много заботился обо мнѣ. Не онъ—такъ что бы было со мной?»—Эти мысли день ото дня мучили ее, но ей не хотѣлось думать о немъ, не хотѣлось видѣть его: въ немъ было что-то противное, онъ напоминалъ ей о многомъ.

«Ужо я ему скажу: пусть онъ не попадается мнѣ на глаза. А то ужъ онъ больно близко живетъ; не хорошо по улицѣ пройти: всѣ на тебя глядятъ.

На другой день она пошла за табакомъ для Панкратова. Идетъ Корчагинъ навстрѣчу, а какъ ближе сталъ подходить, отвернулъ лицо въ сторону. Курносова остановилась.

— Василій Васильичъ...

— Ну?

— Ты што меня караулишь... Я не люблю, кто надо мной подглядываетъ.

— Это отчего?—сказалъ свирѣпо Корчагинъ.

— Оттого, што мнѣ тошно на тебя глядѣть; больно... Не то—я на другое мѣсто уйду.

Корчагинъ перешелъ къ другому мастеру, и Курносова не видала его годъ.

Ее мучило то, что она обидѣла Корчагина, ей жалко его: онъ такой добрый былъ, ласковый... «Поговорить бы съ нимъ ладкомъ... нѣтъ... не надо... не люблю я его, и сама не знаю отчего»... Черезъ годъ Корчагинъ вдругъ пришелъ въ кухню Панкратова. Курносова поблѣднѣла.

— Прощай, Прасковья Игнатьевна,—проговорилъ онъ. Голосъ его дрожалъ.

— Ты куда?

— Теперь я вольный—пятнадцать лѣтъ кончилось моей службѣ на заводѣ. Теперь иду въ мотовилихинскій заводъ, тамъ пушки будутъ лить. Прощай. Не поминай лихомъ.

— Прощай...—едва слышно сказала Курносова; сердце у нея обмерло, голова отяжелѣла, и она не замѣтила, какъ вышелъ Корчагинъ.

Она хотѣла бѣжать, догнать его, броситься ему въ ноги и благодарить его много-много за все, что онъ сдѣлалъ ей,—но на нее крикнула хозяйка.

— Што стоишь, ротъ-то разинула?.. Ишь, любовника завела, сука!—Курносова поглядѣла на нее такъ зло, что та сказала:

— Это что такое значитъ, матушка?

Курносова заплакала, а хозяйку это больше взбѣсило,—она начала ругаться.

— Матушка-барыня, вѣдь онъ много для меня сдѣлалъ... Онъ жениться хотѣлъ на мнѣ, да я отказала: онъ опротивѣлъ мнѣ.

— Ну, и бѣги за нимъ. Пошла хоть сейчасъ, плакса ты проклятая...

— Куда я пойду... Если бы я такая была.

— Нечего нюнить-то, барыней сидѣть, шевелись!

Весь этотъ день Прасковья Игнатьевна провела, какъ помѣшанная: то у нея въ глазахъ двоилось, то она не понимала наказовъ хозяйки, то за одной вещью ходила по три раза и не находила ея... И досталось же ей отъ Варвары Андреевны.

Вечеромъ хозяйка, сидя съ мужемъ около стола и наслаждаясь чаепитіемъ, вдругъ позвала Курносову. Курносова плакала; ей жалко было себя, и она думала, что она гордая и отъ гордости обидѣла Корчагина.

— Смотри, Семенъ Семенычъ, все плачетъ,—сказала, улыбаясь, хозяйка.

— Надо ее замужъ выдать.

— На, пей чай-то. Пей здѣсь,—проговорила хозяйка Курносовой, подвигая чашку съ чаемъ. Она думала этимъ оказать ей большое благодѣяніе.

— Покорно благодарю...—сказала едва слышно Курносова.

— А дѣвка дура, што не пошла замужъ. Мужъ—мастеръ, значитъ, житье хорошее. Смотри, наши мастера припѣваючи живутъ,—говорилъ Панкратовъ.

— А вѣдь мужичка, и та любовь разбираетъ: не люблю, говоритъ, его.

— Значитъ—другой есть на примѣтѣ.

Курносова глотала горькія слезы и думала: «уйду же я отъ васъ!»

Хозяйка послѣ чаю заставила Курносову надвязывать чулокъ и говорила:—Хорошо ты дѣлаешь, что не выходишь замужъ. Я уже знаю, што мужчины только до свадьбы ангелы, а послѣ—бѣда. А ты такая подхалюза (т. е. смирная).

А Курносова думала: «вотъ твой мужъ смирный, и куда ты какъ бойчѣе супротивъ него»,—но молча слушала наставленія хозяйки.

Прошелъ мучительно мѣсяцъ. Корчагинъ дѣйствительно уѣхалъ далеко, а Прасковья Игнатьевна осталась мыкать свое горе у Панкратовыхъ.

Дальнѣйшая исторія моихъ бѣдныхъ таракановцевъ оканчивается печальной катастрофой. Прасковья Игнатьевна, измученная работой и сильно заболѣвшая отъ простуды, слегла въ постель и года черезъ два послѣ того, какъ Корчагинъ оставилъ городъ, умерла одинокая и всѣми забытая въ общественной больницѣ. Братъ ея, Илья Глумовъ, просидѣвъ въ острогѣ слишкомъ три года, ушелъ на поселеніе и скоро тамъ окончилъ дни свои въ бѣгахъ, въ холодную зиму, на большой сибирской дорогѣ. А Николай Глумовъ пропалъ безъ вѣсти, такъ что никто больше не слыхалъ о немъ... Что же до Переплетчикова, то съ освобожденіемъ крестьянъ кончилось его раздольное житье; поссорившись съ управляющимъ, онъ попалъ подъ судъ и,

разсоривъ свои награбленныя денежки, съ горя запилъ и безвыходно сидѣлъ въ кабакахъ, ожидая даровой рюмочки. Пелагея Семихина, бѣжавшая съ Глумовымъ, пріютилась въ публичномъ домѣ, проклиная свою судьбу и приказчика. Только Корчагинъ вышелъ, что называется, въ люди. Устроившись на литейномъ заводѣ, онъ обратилъ на себя вниманіе своимъ трудолюбіемъ, и года черезъ два, накопивъ малую толику денегъ, основалъ свою собственную мастерскую, въ которой работали все почти таракановцы. Какъ всѣ бѣдные и много терпѣвшіе люди, разбогатѣвъ, дѣлаются кулаками, и Корчагинъ славился кулачествомъ. Съ рабочими онъ обращался круто и пользовался ими, какъ вьючнымъ скотомъ. Раздавая по праздникамъ грошовое подаяніе, онъ съ чистою совѣстью забивалъ въ могилу сотни людей непосильнымъ трудомъ, который наваливалъ на своихъ работниковъ. Домъ его былъ полной чашей счастія, а мастерская—слезъ и страданій.

Горнорабочіе.

(НАЧАЛО НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА).

ГЛАВА I.

Невеселая встрѣча.

Мы—на одной изъ вѣтвей уральскихъ горъ, въ тридцати верстахъ отъ Осиновскаго желѣзо-дѣлательнаго, чугуно-плавильнаго и мѣди-плавильнаго завода, далеко въ сторонѣ отъ большого сибирскаго тракта.

Осень еще не начиналась, потому что стоитъ іюль мѣсяцъ, но, несмотря на то, здѣсь стоитъ ужасная погода. Въ этомъ мѣстѣ и въ прошломъ году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до Ильина дня стоитъ жара, въ Ильинъ день пройдетъ надъ горой сердитая гроза и потомъ дождикъ, который такъ и идетъ цѣлыя двѣ недѣли; а нынѣ грозы не было, за то дождь начался съ половины іюля и хотя онъ идетъ непостоянно, но все-таки идетъ то черезъ часъ, то черезъ полчаса. Ничего бы и слякоть, такъ опять вѣтры дуютъ холодные, солнышко не показывается. Холодъ, вѣтеръ и дождь не только злятъ людей, но и тяжело дѣйствуютъ на растительность: отъ холода желтѣютъ листья березы, желтѣетъ трава, отъ вѣтра оголиваются деревья. Даже животныя, щиплющія здѣсь траву, дрожатъ... И говорятъ люди, что погода въ это время годъ отъ году становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часовъ вечера. Въ иную пору, въ это время такъ здѣсь весело: можно и по грибы сходить въ лѣсъ, и рабочихъ можно увидать: идутъ или ѣдутъ они съ рудника и поютъ пѣсни и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птицъ не слышно; развѣ сорока пролетитъ молча, да и та забьется въ лѣсъ, скроется въ вѣткѣ, стряхивая съ себя дождь, чистя свой носъ объ вѣтку и злобно смотря по сторонамъ; спятъ бѣлки, обитатели здѣшнихъ лѣсовъ, или въ безпокойствѣ перескакиваютъ съ сосны на осину, такъ что сухія вѣтви трещатъ; а воробышекъ, замѣняющій здѣсь соловья своими пѣснями, тотъ давнымъ-давно спитъ на вѣткѣ, спрятавши подъ крылышко свою красивую головку и только по временамъ вздрагиваетъ отъ вѣтра, холода и дождевыхъ капель. Одни только большіе красные черви, выползая изъ земли, нѣжатся на мокрой травѣ; но стоитъ только дотронуться до травы, какъ червякъ вмигъ улизнетъ въ ту дыру изъ которой онъ выползъ...

Вотъ заслышались откуда-то колокольцы. Брянчанье ихъ заслышалось все ближе и ближе; и вотъ, съ южной стороны, откуда идетъ дорога въ заводъ, показалась тройка лошадей, запряженныхъ въ повозку, которыхъ погонялъ взмахомъ руки ямщикъ, сидящій на передкѣ. Бѣдные кони кажется измучились; ноги ихъ скользили по глинистой почвѣ. Дорога хотя и усыпана шлакомъ (нагаръ отъ мѣдной и желѣзной руды), но ямщикъ ѣхалъ стороной вѣроятно потому, что неудобно ѣхать по шлаку. Въ повозкѣ сидитъ какой-то баринъ въ горнозаводской шинели, въ фуражкѣ, тоже горной формы. Они проѣхали, и опять скоро тихо стало.

Съ лѣвой стороны (стоя лицомъ къ заводу) выѣхалъ изъ лѣсу по узенькой дорожкѣ, противъ которой около большой дороги стоитъ столбикъ съ дощечкой съ надписью: «Ильинскій рудникъ», на одной лошади, запряженной въ худую телѣгу домашняго издѣлья, человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ. Одѣтъ онъ немного лучше крестьянина: на головѣ фуражка, заштопанная двумя заплатами изъ сѣраго и зеленаго стараго сукна, съ изодраннымъ козырькомъ, въ зеленомъ тиковомъ халатѣ; который отъ дождя походилъ на черную клеенку, продранномъ въ разныхъ мѣстахъ и опоясанномъ кушакомъ домашняго издѣлья, въ худыхъ большихъ сапогахъ. По русымъ волосамъ течетъ дождевая вода съ фуражки и падаетъ на карявое, блѣдное лицо и, мѣшаясь съ новыми дождевыми каплями, течетъ по бородѣ, тоже русой, и потомъ падаетъ ему на колѣни. Онъ то и дѣло утираетъ лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лицѣ его, довольно правильномъ, выражалась и досада, и проклятія. Онъ то зѣвалъ, то смотрѣлъ въ лѣсъ, то кричалъ на лошадь:

«Ну-ну, дуракъ!»...

Отъѣхавъ немного отъ столба, онъ слѣзъ съ телѣги, стегнулъ лошадь и пошелъ шагомъ. Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги вѣроятно потому, что она съ измалѣтства пріучена ходить такъ, а теперь, поработавши съ хозяиномъ вдоволь, она, знавшая хорошо эту дорогу, чуяла, что и ей скоро будетъ отдыхъ: она то взмахивала хвостомъ, то вздыхала, то широко глядѣла впередъ, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяинъ лошади то перестигалъ ее, то отставалъ отъ нея и тупо глядѣлъ на ея копыта: на двухъ ногахъ подковъ нѣтъ, на третьей—подкова болтается.

«Э-эхъ ты, соколъ ясный, другъ прекрасный!»,—прокричалъ онъ остановившейся вдругъ лошади и замахнулся на нее. Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по-прежнему.

«Экая погода-то, Осподи!.. Въ тѣ поры...», шепталъ хозяинъ лошади и вдругъ углублялся въ свои мысли, причемъ лицо его принимало различное выраженіе.

«Ты, говоритъ, Токменцовъ,—подлецъ, лѣнивецъ, плутъ... Натъ-кось! А зачѣмъ ты меня, ваше благородье, аспидъ проклятой, отодралъ передъ тѣмъ, какъ мнѣ въ крѣпильщикахъ назначеніе вышло состоять?.. А зачѣмъ ты, стерво варнацкое, урокъ поставилъ: развѣ я воленъ, што не могъ представить восьми коробовъ въ день... Твоя лошадь-то? Разѣ лошади такое назначеніе выходитъ... Ишь, три рубля слѣдуетъ, а на, говоритъ, Токменцовъ, дуракъ ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой,золотой, серебряной, штобъ тѣ калачиковъ двадцать»..

Такъ Токменцовъ разсуждалъ про себя и разговаривалъ съ лошадью.

Телѣга Токменцова была не пустая. Въ ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Подъ рогожей что-то шевелилось.

— Ганька!—вскрикнулъ вдругъ Токменцовъ.

— Ы!—послышалось изъ-подъ рогожи болѣзненно.

— Будь ты проклятъ, стерво!—сказалъ скороговоркой съ сердцемъ Токменцовъ и плюнулъ.—На, штобъ те язвило, анаѳемскаго парня!.. Говорилъ я тебѣ, не связывайся съ Пашкой Крюковымъ, будешь стеганъ—нѣтъ!.. Вставай, будь ты проклятъ!!—крикнулъ Токменцовъ и ткнулъ витцемъ въ рогожу.

— Ой-е!—простоналъ Ганька и открылъ рогожу.

Дождь шелъ мелкій, какъ мука изъ сита.

— Што! мало те полосали, мало?—дразнилъ Токменцовъ Ганьку.

Токменцовъ пошелъ въ лѣсъ, досталъ изъ пазухи кисетъ съ махоркой и трубкой и закурилъ. Лошадь остановилась. Ганька, парень лѣтъ тринадцати, съ блѣднымъ, худымъ и такимъ грязнымъ лицомъ, какъ будто онъ, не умывавшись съ мѣсяцъ, рылся въ землѣ, лежалъ въ телѣгѣ на животѣ. Лицо его выражало и злость, и плутоватость, и страданіе, которое выражалось часто то охами при движеніи, то какимъ-то шопотомъ, то тѣмъ, что онъ грызъ зубами рукавъ своей изгребной, толстой, синей рубахи, започиненной на спинѣ красной выбоиной, то болталъ ногами, на которыхъ были надѣты худые башмаки. При этомъ онъ больше глядѣлъ тупо на одинъ предметъ и зрачки его глазъ дѣлались большими.

Отецъ опять шелъ около телѣги.

— Тятька, дай сосну!

— Я тѣ дамъ сосну—сосунъ экой!

— Дай...—произнесъ протяжно Ганька, какъ дитя, просящее ѣсть.

Отецъ молча далъ сыну чубукъ съ трубкой; сынъ затянулся разъ и закашлялся.

— Туды же!..—проговорилъ отецъ и вырвалъ у сына трубку. Немного погодя онъ спросилъ:

— Тебя што спрашиваютъ: поди-ко не больно, коли такъ-то стягаютъ?

— Я, знашь, што сдѣлаю. Подосенову рыло сверну.

— Хо-хо! Тогда такъ те отшлифуютъ, што...

— Не ври!

— Дуракъ ты! и отецъ сѣлъ на козла.—Это, парень, все вѣники, а тамъ береза будетъ. Учись привыкать—ковыкать (терпѣть): не ты первый, не ты послѣдній.

— Сказано: Подосенову голову сорву,—крикнулъ зло Ганька.

— Хо-хо!.. руки коротки.

— Тятька!—закричалъ Ганька и поднялся.

Отецъ посмотрѣлъ на него весело: Ганька глядитъ чистымъ дикаремъ, по щекамъ ползутъ слезы... Отецъ сжалъ кулаки, крякнулъ и, ничего не сказавъ, обернулся къ лошади. Такъ они ѣхали молча около часа. Потомъ Токменцовъ запѣлъ грустную пѣсню, сначала не громко, а потомъ во все горло:

«Ужъ ты гулинька, да ты мой гуленсночекъ! о-охъ што же ты, гулинька, ко мнѣ во гости не летаешь? Разѣ домичку моего да не знаешь? Разѣ голосу моего не слышишь? Разѣ мой голосъ вѣтричкомъ относитъ? Али сизы крылушки частымъ дожжемъ мочитъ, разосенненькимъ частымъ споливаетъ»...

— Тятька?

— «Частымъ да споливаетъ»...

— А тятька!

— Чево тебѣ?

— Дай водички.

— Гдѣ бы я про те припасъ? «Што да не ласточка по полю летаетъ»...

— Тятька!

Отецъ пересталъ пѣть, а только насвистывалъ. Потомъ онъ задумался объ томъ, что сына его Ганьку безвинно наказали на рудникѣ розгами. Вдругъ остановилъ лошадь, взялъ изъ телѣги топоръ, подошелъ къ лѣсу, около котораго лежало недавно срубленное дерево.

— Экое дерево-то гожее!—и онъ, перерубивъ его на трое, положилъ въ телѣгу рядомъ съ сыномъ. Въ это время изъ завода подходила на встрѣчу женщина лѣтъ сорока пяти, блѣдная, худая, высокая съ костлявыми руками. На головѣ ея надѣтъ былъ красный платокъ, на синюю рубаху—изорванный сарафанъ, на ногахъ—худенькіе башмаки съ худыми чулками изъ шерсти, да на плечахъ болтался мѣшокъ съ чѣмъ-то. Это былъ весь ея костюмъ, и все это давно уже смокло до того, кажется, что не было и на тѣлѣ ея

ни одного сухого мѣста; руки и лицо ея мокрыя, по колѣнямъ текутъ черныя полоски грязи.

Женщина поровнялась съ Токменцовымъ и спросила:

— Ганька-то гдѣ-ка?

— Здѣсь, мамка!—сказалъ весело Ганька и приподнялся.

— Што ты, парня-то не слалъ?

— Не слалъ!.. Въ первой што ли!.. Не слалъ?! Прытка больно: всего вонъ изстягали... Да ты-то куда?

— Знамо куда! одна дорога! къ главному, къ самому главному.

— Будь ты проклятая!..—и Токменцовъ плюнулъ.

— Чего ты ругаешься! Поди, продавалъ гдѣ-нибудь шары-те. Двѣ недѣли гдѣ-то шатался, шатало, а безъ тебя чудеса дѣлаются.

— Каки чудеса?

— А таки чудеса, что Пашку задрали.

— Ну?!

— А такъ: ты уѣхалъ на рудникъ-то, а Пашку на петровской рудникъ угнали.

— Да вѣдь онъ въ лихоманкѣ былъ?

— Чего я дѣлать-то стану, поди-кось, слушаютъ нашева брата...

Токменцовъ поѣхалъ, но, отъѣхавъ немного, онъ остановилъ лошадь.

— Онисья!—крикнулъ онъ.

Жена его остановилась.

— Чево?

И слѣзши съ телѣги, Токменцовъ пошелъ къ ней.

— Такъ ты чево ино: куда топерь?

— Толкомъ говорила, што къ самому главному начальнику.

— Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?

— Небось, получше твоего. Ты бы поглядѣлъ, что это было!—сказала она, злобно рванувъ рубаху, и вдругъ заплакала.

— Ну, дура, заживетъ.

Онисья долго ругалась, а Токменцовъ стоялъ молча.

— Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разуму нѣту-тка! Ну, чего ты шары-то выпучилъ, стоишь?

— Молчи, гадина! Сама виновата: обращенія такого не имѣешь, чтобъ безъ бѣды не прожить. Нѣтъ, небось, сама суешься, суета проклятая!

— Поди-кось, какія умныя рѣчи толкуешь! А по твоему это дѣло—парня взять больнова да и стегать—што ему робить не въ силу? Ну, какъ я узнала, что его задрали, такъ я и пошла къ управляющему, вломилась: съ какова, говорю, права можете нашихъ робятъ задирать? Подай, говорю, варваръ ты эдакой, мово сына, живого подай!.. Возьми, говоритъ, хорони его. Ахъ ты, говорю я ему, разбойникъ ты эдакой, покараетъ же тебя Царица небесная. А онъ и отправилъ меня въ полицію... Ну, гдѣ правда?

— Знашь, я бы не совѣтовалъ тебѣ идти-то.

— Отчего это такъ?

— Оттого, што и тамъ толку-то нѣтъ, все равно што здѣсь. Скажутъ: стòитъ бабы слушать.

— А по-твоему, мнѣ такъ и ходить стеганой?.. Шалишь!

— А есть ли у те пропиталъ-то? Это ты сообразила ли?

— Кто его пропиталъ-то припасъ? Христомъ-Богомъ дойду, добрые люди накормятъ.

— Мамка, и я съ тобой.

— Я тѣ дамъ! Мало еще тебя стегали?

Дѣло въ томъ состояло, что въ отсутствіи Токменцова, сына его Павла, шестнадцати лѣтъ, называвшагося по-заводски подросткомъ, взяли хвораго на рудникъ и тамъ за какую-то вину наказали розгами такъ, что онъ на четвертый день умеръ. Узнавши отъ этомъ, мать и пошла къ управляющему, но и ее за грубыя выраженія наказали розгами. Теперь она отправилась съ жалобой къ главному начальнику горныхъ заводовъ. Токменцовъ положительно сталъ втупикъ отъ намѣренія жены. Оба они люди бѣдные, пропитаніе они достаютъ съ помощью лошади и дѣтей, которыя получаютъ провіантъ: стало быть у нихъ одного работника не стало. Развѣ ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже можетъ быть не избѣгнетъ этой же участи? Но онъ боролся съ тѣмъ, что будетъ ли толкъ какой отъ жалобы жены и не будетъ ли ему отъ этого хуже; а на это онъ имѣлъ десятки фактовъ.

— Ты бы, Онисья, подумала, чтò сдѣлали съ Ѳитулихой?

— Самъ плохъ, такъ не подастъ и Богъ. Извѣстно розиня.

— Ой, Онисья, плохо будетъ! наживешь ты со своей жалобой бѣды.

Онисья представила себѣ положеніе вдовы Ѳитулиной, которая своей жалобой не только не помогла дѣлу, а все испортила, но за то у нея не задрали сына, ея не стегали.

— Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла думая: идти ли ей въ самомъ дѣлѣ? Кто его знаетъ: Иванычъ ровно правду говоритъ, да какъ же они смѣютъ.— Пойду! — сказала она громко и сердито, и пошла наша Онисья, а мужъ ея задумавшись ѣхалъ на заводъ. Онъ такъ былъ золъ въ это время, что попадись ему на встрѣчу какой-нибудь надзиратель, онъ избилъ бы его такъ, что тотъ на всю жизнь бы калѣкой сдѣлался. Ганька нѣсколько разъ что-то спрашивалъ у него, но не добился отвѣта.

До завода верстъ десять осталось. Лѣсъ начинаетъ рѣдѣть; около лѣсу по обѣимъ сторонамъ дороги во многихъ мѣстахъ навалены дрова-долготье, въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны черные большіе круги на землѣ; въ двухъ мѣстахъ жгутъ кученки: кучи въ два аршина вышины и въ полтора ширины, обваленныя свѣжей землей, и изъ этихъ кучъ въ боковыя отверстія идетъ дымъ. На одной кучѣ стоятъ двое рабочихъ въ рубахахъ и скачутъ—это они убиваютъ горящія подъ землею дрова, а третій—большой ступой бьетъ съ одного бока кучу,—это онъ садитъ *на товаръ* дрова. Въ другой кучѣ въ серединѣ сдѣлался провалъ, отъ чего пламя высоко поднималось. Двое рабочихъ бросаютъ въ средину дрова, а третій

кидаетъ туда земли или *зернитъ*. Между этими кучами стоитъ балаганъ—родъ пирамидальнаго трехъстѣннаго шалаша, въ срединѣ котораго разложенъ огонь. Изъ третьей кучи выбрасываютъ золу, землю, и ломаютъ длинные толстые угли: одинъ рабочій бьетъ лопатой, другой граблями отдергиваетъ мелкіе угли, третій и четвертый накладываютъ угли въ телѣгу, пятый уже далеко ѣдетъ въ заводъ. Это рабочіе справляютъ куренныя работы. За семь верстъ отъ завода, котораго еще не видать, потому что мѣстность идетъ ровная, а дорога повертываетъ на лѣво и идетъ между мелкимъ, рѣдкимъ лѣсомъ,—въ этомъ мѣстѣ попадаются запоздалыя коровы, щиплющія траву, попадаются овечки, облизывающія другъ друга и какъ-то болѣзненно смотрящія по сторонамъ. Дождь то переставалъ, то шелъ снова... Вотъ откуда-то послышалась заунывная, протяжная пѣсня и смолкла опять, а Токменцовъ сидитъ все злой и чѣмъ ближе подъѣзжаетъ онъ къ заводу, тѣмъ становится злѣе.

Гаврила Иванычъ Токменцовъ, какъ и другіе его товарищи, принадлежалъ наслѣдникамъ Граблева и назывался непремѣннымъ работникомъ, какъ назывался и покойный отецъ его и какъ будутъ называться и дѣти его. Росъ онъ какъ и прочіе росли. Съ тѣхъ поръ какъ онъ могъ ходить на своихъ ногахъ, онъ лѣтомъ постоянно былъ на улицѣ и вполнѣ пріучился къ заводской жизни: сначала валялся въ песку и грязи, потомъ сталъ бѣгать по этой грязи и песку въ рубашкѣ безъ штановъ и обуви, потомъ сталъ играть, былъ битъ отъ старыхъ и малыхъ и самъ пріучался драться, и между тѣмъ онъ уже восьми лѣтъ владѣлъ топоромъ, учился косить траву, умѣлъ высверливать на шарикахъ дырки, запрягалъ и распрягалъ лошадь, такъ что физическія силы его быстро возрастали и крѣпли. Бывши мальчуганомъ, онъ слылъ за отличнаго бойца и ловкаго плута, умѣлъ обругать кого угодно такъ же, какъ ругается и его отецъ, усвоившій ругань тоже съ дѣтства, и съ терпѣніемъ переносилъ розги, которыхъ пришлось ему принимать еще очень много. Отецъ его былъ крѣпкій раскольникъ безпоповщинской секты, но Гаврило Иванычъ считается православнымъ; впрочемъ въ церковь онъ ходилъ только въ самые большіе праздники. Въ кругу товарищей онъ уже давно пріучился курить табакъ и потягивать водку. Попавши съ 12 лѣтъ на рудники подъ именемъ *малолѣтка*, онъ уже походилъ на рабочаго: напр. онъ работалъ на конной машинѣ, погоняя лошадей, таскалъ въ тачкахъ песокъ, угли и т. п. вещи. Такимъ образомъ, находясь постоянно на работѣ и сталкиваясь съ людьми, онъ уже въ это время не уступалъ ни рѣчами, ни манерами взрослому рабочему, и не былъ такой сонливый, какими кажутся наши крестьянскіе парни. Въ обществѣ товарищей онъ изощрялся и самъ своимъ умомъ на остроты, насмѣшки; услыхавъ отъ механика-иностранца иное непонятное слово онъ вмѣстѣ съ товарищами прозывалъ этого механика мудренымъ словомъ и складывалъ пѣсни, пародію на управляющаго, приказчика или исправника. Понятія его были такъ же ограничены, какъ у всѣхъ, и хотя онъ родился въ раскольнической семьѣ и умѣлъ читать и писать, но зналъ столько же, сколько и другіе знали, потому что ему не откуда было пріобрѣсти больше знаній, да онъ правда и самъ не нуждался въ этомъ. Попавши въ рабочіе и проработавши съ годъ, онъ узналъ, что̀ значитъ быть горнорабочимъ: прежде хотя и трудновато было, хотѣлось играть и дирали на славу за лѣнь, и въ шахтѣ приходилось ползать съ тачкой на колѣняхъ, но все же было какъ-то легче; теперь онъ настоящій рабочій: его посылали на работы вмѣстѣ съ прочими, и если урокъ не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провіантомъ, деньгами. Нисколько не отличаясь отъ обыкновенныхъ рабочихъ, онъ былъ, надо сказать, человѣкъ честный, практическій и по заводу не глупый. Одно только водилось за нимъ: онъ, какъ и другіе потаскивалъ полосы желѣза, которыя потомъ продавалъ, таскалъ свѣчи сальныя изъ рудниковъ; но, какъ мы увидимъ дальше, этого ему и нельзя было ставить въ особую вину.

На Онисьѣ Кириловнѣ онъ женился на двадцатомъ году. Женился конечно по любви: онъ былъ уже взрослый парень, съ Онисьей онъ росъ вмѣстѣ, вмѣстѣ игралъ до пятнадцати-лѣтняго возраста, а потомъ обращался съ ней по-своему: то щипнетъ, то воду прольетъ; та отдѣлывалась отъ него бранью и колотушками. Кромѣ этого его побуждало жениться еще то: онъ будетъ самъ хозяинъ, будетъ получать 4 пуда провіанта и на дѣтей пойдетъ тоже провіантъ. Онисья росла въ бѣдной семьѣ, и выросла, какъ и прочія заводскія дѣвушки: научилась домашнему хозяйству, умѣла косить, лошадь запречь и ѣздить верхомъ на лошади, умѣла шить и вязать чулки. По умственному развитію она была все-таки ниже мужа: въ дѣвушкахъ ей не приходилось слышать отъ старшихъ много хорошаго, вышедши замужъ, онъ сначала работала вмѣстѣ съ мужемъ около рудниковъ, а потомъ она стала водиться съ дѣтьми; а извѣстно, что рабочему человѣку, занятому домашнимъ хозяйствомъ и дѣтьми, заботы много, и думать о чемъ-нибудь приходится развѣ за чулкомъ, да и тутъ отъ ребяческаго крика не много надумаешь.

Онисья Кириловна была хозяйка хорошая и, если бы не рожала дѣтей, она бы непремѣнно стала работать съ мужемъ, какъ это часто дѣлаютъ многія женщины на заводахъ и промыслахъ. Но теперь у нея есть дочь восемнадцати лѣтъ, Елена, которая помогаетъ ей въ хозяйствѣ, было трое сыновей: Павелъ шестнадцати, Гаврило тринадцати и Николай пяти лѣтъ, изъ которыхъ Павла задрали на рудникѣ. Павла она любила больше другихъ дѣтей и потому ей очень тяжко было, когда его несправедливо взяли больного на рудникъ и тамъ задрали; тѣмъ болѣе тяжко, когда за правду ее же наказали.

Но будетъ ли какой прокъ изъ ея жалобы? Мысль объ этомъ мучила Гаврила Иваныча, который хотя и имѣлъ со всѣми рабочими большую антипатію къ начальству, но трусилъ, какъ и всѣ трусятъ, что главный начальникъ не выслушаетъ жалобу отъ бабы, а управляющій или приказчикъ сдѣлаетъ не только бабѣ пакость, но достанется и мужу. «Ну, будетъ, что будетъ! Богъ не безъ милости!», подумалъ Токменцовъ и вздохнулъ; на душѣ сдѣлалось немного полегче.

ГЛАВА II.

Осиновскій заводъ.

Читатель вѣроятно замѣтилъ, что нашъ разсказъ начинается еще до воли. Предупреждаемъ его также, что Осиновскій заводъ не можетъ быть отысканъ на картѣ, а имя владѣльца не найдется между нынѣшними владѣльцами.

Еще не доѣзжая до завода большой дорогой верстъ пять, глазамъ новичка въ этомъ мѣстѣ представляется красивая картина. Вы спускаетесь внизъ, съ пологой возвышенности; направо сперва покосы, ничѣмъ не огороженные, потомъ кустарники, обгорѣлый рѣдкій лѣсъ, а за ними поднимаются горы и пригорки, налѣво—лѣсъ сосновый и березовый, скрывающій виды, а впереди сначала показываются мелкіе кустарники на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ, лѣса разныхъ породъ, преимущественно березовые и осиновые. Дорога сначала идетъ прямо, потомъ скрывается въ лѣсу, а далѣе, смотря все впередъ, на огромномъ пространствѣ лѣсъ, то опускаясь, то поднимаясь, то зеленый, то черный, то въ мѣстахъ красный отъ пожара, съ дымомъ, стелющимся по большому пространству — даетъ чудную картину. За пять верстъ отсюда черезъ кустарники и лѣсъ видятся три каменныхъ церкви съ тусклыми куполами, сѣрыми стѣнами, и вокругъ нихъ дома, каменные, крашеные, сѣрые и черные, въ серединѣ этой массы сѣрая полоса — прудъ, скрывающійся налѣво за лѣсомъ. Высокая, голая гора Лапа, возвышающаяся за домами, идетъ какъ-будто полукругомъ; вдалекѣ—верстъ за пятнадцать отъ завода—около горы тянется извилинами рѣчка, какъ-будто исчезающая далеко въ горѣ, и сѣрый густой дымъ, возвышающійся изъ одного большого зданія съ красной круглой крышей, стелется надъ строеніями, тѣсно скученными на пространствѣ верстъ пяти по глазомѣру. Это—Осиновскій заводъ. Заводъ съ этого мѣста имѣетъ видъ неправильнаго пятиугольника и дома то поднимаются къ верху, то спускаются внизъ—по неровности мѣста. Дорога идетъ по косогору, лѣсъ становится рѣже, на спускѣ невысокій кустарникъ, потомъ начинаются огороды, недостроенные дома, ничѣмъ не огороженные, дальше дома стоятъ тѣснѣе и тѣснѣе другъ къ другу съ небольшими заплотами. Дорога идетъ налѣво. Дома лѣпятся по косогору и принимаютъ горнозаводскій видъ—съ дощечками надъ воротами, означающими фамилію хозяина дома, и дощечками надъ окнами съ годомъ, означающимъ время постройки дома. Дома одноэтажные, съ двумя, тремя, пятью окнами, высоко сдѣланными отъ земли, съ выбѣленными и раскрашенными разными кружками, крестиками ставнями, съ пожелтѣвшими и черными воротами и заплотами. Это—*новая сторона*. Черезъ логъ и небольшую рѣчку улица идетъ по глинистой почвѣ, которая послѣ дождя засыхаетъ только въ сильныя жары. Опять улица немного поднимается; здѣсь мѣсто идетъ ровное.

На этой улицѣ, называемой Большой заводской, налѣво стоитъ питейный домъ. Около него толкутся человѣкъ шесть рабочихъ въ зеленыхъ и сѣрыхъ зипунахъ. Они о чемъ-то спорятъ.

— Здоово, братцы!—сказалъ Токменцовъ, подъѣхавъ къ нимъ. Онъ слѣзъ съ телѣги и, подошедши къ нимъ, снялъ фуражку.

— Э!—откликнулся одинъ рабочій.

— Не слыхалъ, што Подхалюзинъ сотворилъ?—спросилъ Токменцова другой рабочій.

— Што?

— Наташку Никулиху въ острогъ представилъ.

— За што?

— Фальшивую бумажку нашли.

— А мы хочемъ показать, што эти бумажки самъ Подхалюзинъ робитъ.

— Гоже. А нѣтъ ли, братцы, пятачка?

— То-то, што—въ монетномъ куютъ, да намъ не даютъ,—сострилъ молодой рабочій. И они вошли въ кабакъ. Оказалось, что четверо изъ нихъ были куренные рабочіе, а два —мастеровые, занимающіеся въ самомъ заводѣ столярнымъ ремесломъ. Одинъ столяръ заложилъ зипунъ, взялъ полуштофъ; за водкой стали разговаривать крупно о разныхъ дѣлахъ, подправляя разговоръ остротами, закричали и, взявши въ долгъ еще полуштофъ, запѣли и заплясали. Пѣли они вотъ какую пѣсню:

Штаники суконны,
Панталоны волокопны!
Ахъ, казаки—десятники,
Варнаки-шкурятники!
Положили-выдрали и т. д.

Плясали свой самодѣльный заводскій танецъ. Казалось, они были веселы, но на душѣ у Токменцова невесело было: отъ водки онъ сдѣлался еще злѣе, веселье товарищей его бѣсило, сердце какъ будто что-то щипало.

— Савелій Игнатьичъ! повѣрь въ долгъ,—говорилъ онъ сидѣльцу,

— Не могу.

— А, дуй-те горой! Вѣдь у меня сына задрали.

— Ей-Богу, не могу.

Такъ-таки Токменцову и не пришлось выпить. Онъ обругалъ сидѣльца, товарищей и вышелъ злой изъ кабака, неизвѣстно почему ударилъ сына по головѣ, стегнулъ крѣпко лошадь и тронулся, а рабочіе, обнявшись и шатаясь, шли за нимъ, напѣвая: «мости, миленькой да дружочикъ».

Онъ уѣхалъ... Стали попадаться переулки, улицы, кривые и грязные; дорога усыпана шлакомъ; дома красивѣе; Токменцовъ проѣхалъ уже четыре каменныхъ одноэтажныхъ дома, десять полукаменныхъ, нѣсколько обитыхъ досками и выкрашенныхъ желтою краскою, съ садиками передъ окнами, съ красными и голубыми крышами, одну церковь. Вотъ выѣхалъ онъ въ самую лучшую часть города: впереди направо заводскій соборъ, за нимъ виднѣются сѣрыя фабрики, а дальше гора Лапа. Здѣсь улица шире, черная дорога убита хорошо, есть деревянные и каменные тротуары. Налѣво—большой двухъ-этажный господскій каменный домъ съ каменными флигелями, съ чугунными рѣшетками, садомъ, выходящимъ на озеро, на которомъ сдѣлана купальня,—и все это занимаетъ большое пространство; направо—большой соборъ, довольно красивый, съ садомъ вокругъ и чугунною рѣшеткой; противъ собора заводская полиція и главная контора, между ними площадь съ гости-

нымъ дворомъ, противъ котораго въ пяти-оконномъ деревянномъ домѣ помѣщается Осиновская почтовая контора. Здѣсь есть и фонари, зажигаемые впрочемъ во время пребыванія здѣсь начальствующихъ лицъ горнаго вѣдомства.

Это называется *запрудская сторона*. Въ ней живетъ все высшее управленіе Осиновскаго завода съ его округомъ, семь тысячъ людей обоего пола, изъ которыхъ до двухъ тысячъ мужчинъ, подростковъ и малолѣтковъ составляютъ чисто горнорабочій классъ. Двѣ трети жителей этой стороны принадлежали казнѣ, остальные—владѣльцу завода.

У воротъ господскаго дома, въ которомъ живетъ управляющій Граблевскими заводами, стоитъ будка. Въ будкѣ сидитъ караульный осиновецъ и починиваетъ сапогъ; изъ улицы выѣхали рабочіе съ углемъ. Шедшіе рабочіе, поровнявшись съ господскимъ домомъ, снимали фуражки и шапки.

За господскимъ домомъ начинается плотина, идущая на полверсты, запруживая озеро, имѣющее длины шесть верстъ и ширины отъ одной версты до трехъ верстъ. Это озеро называется по-заводски прудомъ. Налѣво впереди озеро, скрывающееся правѣе въ углу за лѣсомъ, направо заводскія зданія—большіе сѣрые и почернѣлые отъ дыму и углей каменные флигеля съ круглыми и обыкновенными крышами. Это фабрики: кричная, раскатная, доменная, кузнечная, съ высокими трубами, изъ которыхъ постоянно выходитъ дымъ густыми черными и сѣрыми клубами. Дорога здѣсь черная отъ сыплющихся во время вѣтра углей изъ фабричныхъ трубъ, и углей, падающихъ съ телѣгъ, въ которыхъ ихъ возятъ на угольный дворъ, находящійся позади фабрикъ. Около кузнечной фабрики сдѣланы большіе вѣсы, а надъ ними въ башенкѣ виситъ полупудовый колоколъ, которымъ скликаютъ народъ на работу и по которому прекращаются работы. Сквозь фабрики черезъ плотину проходитъ небольшая рѣчка. Весной, во время спуска воды изъ пруда, она становится удобной для сплава каравана съ металлами.

За плотиной опять продолжаются заводскія строенія лѣвѣе отъ горы Лапы—то *старозаводская слобода*. Если стать по серединѣ плотины лицомъ къ озеру и посмотрѣть направо и налѣво, то съ перваго же раза бросается въ глаза различіе двухъ приозерныхъ сторонъ. На лѣвой сторонѣ у берега—сады и надъ ними высятся то каменные, то полукаменные дома, то крашенныя крыши, видны бесѣдки въ огородахъ, движеніе по водѣ около берегу; на правой же сторонѣ бросается въ глаза черная масса кое-какъ наставленныхъ угрюмыхъ домовъ—маленькихъ, ветхихъ, огороды ничѣмъ не огороженные, съ банями безъ крышъ. Заднія постройки, вмѣщающія въ себѣ амбары, погреба, сараи и т. п., такъ крѣпко пристроены другъ къ другу, что съ одного конца до другого можно свободно пройти по крышамъ. Токменцовъ въѣхалъ въ узкую, грязную улицу. Онъ проѣхалъ много домовъ, а переулковъ нѣтъ. Въ этой слободѣ только одна улица, которая тянется вдоль по озеру и идетъ не прямо, а разными извилинами. Здѣсь дома ветхіе, покачнувшіеся направо и налѣво, подпертые, съ двумя и тремя окнами и со ставнями, ничѣмъ неокрашенными.

Въ этой-то слободѣ и живетъ Гаврила Иванычъ Токменцовъ въ числѣ человѣкъ тысячи населенія, которое, называясь непремѣнными работниками, принадлежало наслѣдникамъ Граблева.

Вотъ и Токменцова домъ на лѣвой сторонѣ съ двумя окнами на улицу, съ высокой крышей, покачнувшейся на правый бокъ, съ воротами; на дворѣ около заднихъ построекъ стоитъ высокій шестъ съ будочкой, или просто скворешникъ.

ГЛАВА III.

Отецъ и дочь.

Елена Гавриловна, по-заводски Оленка, была ростомъ не велика. Говорили сосѣди, что она по глазамъ походитъ на отца, ртомъ и носомъ на мать, но ея бабушка говорила всѣмъ, что она ни на отца и ни на мать не походитъ, а вся вылитая какъ есть въ нее, бабушку. Она и дѣйствительно не походила на родителей, а Онисья Кириловна доказывала по своему, что она только махонькая походила на нее, а какъ сдѣлалась эдакой *дылдой*, то стала походить чортъ знаетъ на что, и сѣтовала, что дочка сдѣлалась какая-то подхалюза и бѣлоручка.

Олена сидитъ у окна и вяжетъ чулокъ, сидитъ она босикомъ, сложивши лѣвую ногу на правую. На ней надѣтъ сарафанъ изъ синей изгребины, и хотя этотъ костюмъ, прошитый по бокамъ красной тесьмой съ узорами на груди, довольно бѣденъ на видъ, но онъ простъ и опрятенъ. Елена Гавриловна дѣвушка вполнѣ здоровая, но на лицѣ у нея нѣтъ румянца, который бываетъ у женщинъ, много работающихъ на воздухѣ, на стужѣ и на жару, около печи, много спящихъ и много кушающихъ. Положимъ, и Елена Гавриловна работала на покосахъ, но немного; а лишь только она могла ходить, то росла такъ же, какъ и ея уважаемый родитель Гаврила Иванычъ: подобно ему, она такъ же бѣгала по улицѣ съ ребятами обоихъ половъ и разныхъ возрастовъ, такъ же она играла съ ребятами въ разныя игры, даже въ бабки, въ городки и даже въ змѣйки, такъ же она прежде бѣгала въ одной рубашонкѣ постоянно грязной, которую она частенько задирала на голову; такая же она была замарашка, съ бѣлыми распущенными волосами, некрасивая, но теперь старики, глядя на нее, говорятъ: «какая ты, Олена, красивая да опрятная стала! сичасъ хоть подъ вѣнецъ»... Но собственно говоря, вы красоты въ ней большой не замѣтите: лицо съ веснушками, блѣдное, но довольно правильное, чисто-русское, а не какое-нибудь съ татарскими или зырянскими пятнами или уклоненіями, потому что ихъ дѣды были русскаго происхожденія или, если шли отъ какихъ-нибудь инородцевъ, то современемъ ихъ формы лицъ сложились въ обычный типъ горнорабочаго человѣка, —высокій, крѣпкій и сильный въ первое время молодости. Волосы у нея пепельнаго цвѣта, длинные, ихъ она заплетаетъ въ косички, а потомъ вокругъ головы и закрываетъ платкомъ, когда ходитъ по улицамъ, а дома ихъ она никогда не закрываетъ. Она находитъ, что платокъ къ ней больше идетъ, чѣмъ какая-нибудь сѣтка, которую она надѣваетъ въ самые боль-

шіе праздники. Въ дополненіе къ ея костюму надо еще прибавить, что въ ушахъ у ней вдернуто по сережкѣ, которыя состоятъ изъ янтаря въ мѣдной оправѣ на подобіе колокольнаго языка, а на правой рукѣ на среднемъ пальцѣ надѣто оловянное кольцо, принадлежащее ея матери. Вязанье тихо что-то клеится. Она то вздохнетъ, то задумается, сидитъ минутъ пять и смотритъ въ уголъ, то опять вздохнетъ и погладитъ большого бураго кота, наслаждающагося созерцаніемъ, какъ на улицѣ по грязи бродятъ овечки, то запоетъ протяжно заунывную пѣсню: «Всѣ-то ноченьки млада просидѣла. Ахъ одна-то думушка съ ума нейдетъ, не съ ума нейдетъ не съ разума; прогнѣвила дружка милова: назвала его горькой пьяницей, да несчастною... Мое-тъ миленькій да-оей о-осердился. Онъ ужъ больше ходить-то да не станетъ. Дороги-те подарки онъ носить мнѣ не станетъ...».

Какъ видно, эту пѣсню она очень любила, потому что, кончивъ ее, она опять пѣла ее же и пѣла съ какимъ чувствомъ!..

Дѣтство ея прошло не очень-то весело. Его можно раздѣлить на двѣ различныя половины по развитію; первая заключалась въ томъ, что она была предоставлена на произволъ окружающихъ ее личностей, во второй—она принуждена была подчиниться вліянію матери и своей семьи. Съ самаго ранняго возраста, т. е. съ тѣхъ поръ, какъ только она перестала сосать материнскую грудь, она была оставлена на произволъ судьбы. Она была первое дитя и одинъ ребенокъ въ дому. Кормивши ее грудью одинъ годъ и чувствуя скорое рожденіе новаго ребенка, мать бросила ее, предоставивъ бабушкѣ, которая при всей своей нѣжности къ ребенку не могла, по грубой своей натурѣ, удовлетворять капризамъ ребенка, ласкать его не умѣла и часто подчивала шлепками по чемъ попало; часто случалось, что ребенокъ надоѣдалъ старухѣ, занятой постоянными леченьями и въ особенности повивальнымъ упражненіемъ въ старой слободѣ, а мать была занята или хозяйствомъ, или носила мужу на рудникъ пищу, такъ что ребенокъ оставался взаперти въ зыбкѣ и ревѣлъ цѣлый день, а иногда и цѣлую ночь. Случалось ей и оставаться на полу или на лавкѣ и въ этомъ случаѣ или падать съ лавки, или стукаться головой о ножки стола, о печки и т. п. вещи. Родился другой ребенокъ, за дѣвочкой уже не стали такъ хлопотать, какъ прежде, и ее часто оставляли голодать и колотили старшіе въ сердцахъ и отецъ подъ хмѣльную руку. На четвертомъ году дѣвочка уже бѣгала по улицѣ. До девятаго года, предоставленная себѣ, она находилась рѣшительно подъ вліяніемъ товарищей, и какъ мальчики, такъ и она, усвоила себѣ ихъ манеры и понятія вмѣстѣ съ играми, но въ это время она уже справляла въ своемъ семействѣ кое-что: качала зыбку, таскала братьевъ, играла съ ними, выносила помои, мела и мыла полъ въ избѣ, давала коровѣ сѣна, загоняла, во дворъ овецъ, ходила въ лѣсъ по ягоды и по грибы съ ребятами: потомъ ее стали пріучать вязать стряпать, шить, заставляли пѣть при гостяхъ пѣсни. Наконецъ она и совсѣмъ выросла; на нее смотрѣли какъ на дѣвушку-невѣсту и требовали точнаго исполненія всѣхъ ея обязанностей. Теперь она умѣла все дѣлать, чему ее учили, и она очень хорошо знала, что впослѣдствіи выйдетъ замужъ и будетъ сама рожать дѣтей,—это вездѣ въ простомъ быту, гдѣ не стѣсняются никакими выраженіями друзья-пріятели и хорошіе знакомые, дѣти знаютъ очень рано. Бабушка ея была раскольница. Поэтому она требовала отъ зятя, чтобы онъ ее выучилъ читать и писать. Отцу было не время, мать грамоту знала плохо, а бабушка говорила, что ее хотя и началъ учить мужъ уже замужемъ, но она кромѣ азбуки ничего не поняла. Поэтому дѣвочка выучила дома только со словъ азбуку, а, играя съ ребятами, она кое-какъ выучила склады и то по церковной печати. Такъ она знала читать до двѣнадцатилѣтняго возраста, а съ этого времени, занимаясь постоянно чѣмъ-нибудь, она позабыла грамоту кромѣ азъ, буки да вѣди. Хорошо еще, что у нея есть подруга на запрудской сторонѣ, умѣющая читать и писать, но она дочь штейгера, къ ней Еленѣ приходилось ходить чуть-ли не разъ въ годъ, и тогда о грамотѣ не было помину, да и Еленѣ, вырвавшись изъ дому, хотѣлось только пѣть и плясать. Только въ этомъ году, когда умерла жена штейгера и подруга Елены просватана, Елена ходитъ туда чаще, просиживаетъ по суткамъ и между дѣломъ учитъ грамоту снова. Теперь она умѣетъ читать по складамъ и писать печатно большія каракули.

Отецъ о нравственности своей дочери не заботился, да и ему въ голову никогда не приходило, чтобы дочь могла избаловаться, потому во-первыхъ, что дома онъ жилъ рѣдко, а во-вторыхъ она была смирная и при немъ всегда была дома. Правда, онъ подумывалъ выдать ее замужъ; но за своего брата рабочаго ему было жалко выдать; потому что онъ зналъ, что жизнь рабочаго—жизнь очень тяжелая; писарей заводскихъ онъ терпѣть не могъ; за хорошаго человѣка онъ ее выдать не могъ, потому что былъ бѣденъ да притомъ непремѣнный работникъ. Такъ этотъ вопросъ и былъ имъ поконченъ до поры до времени. Мать же строго слѣдила за дочерью: если куда-нибудь дочь уходила, она бранила ее и попрекала чѣмъ-нибудь, если она разговаривала съ молодымъ мужчиной, мать опять корила ее цѣлыя сутки, а объ гуляньяхъ и помину не было. Работать ей самой на себя было дѣло невозможное, потому что она заправляла въ домѣ почти всѣмъ хозяйствомъ, на рудникъ пустить ее боялись на томъ основаніи, что дѣвушкѣ съ рабочими работать неудобно, работать дома на продажу было нечего, потому что въ каждомъ домѣ женщины шьютъ одежду на себя и на семейства сами, а на рынкѣ издѣлій и безъ осиновскихъ произведеній много.

Елена часто думала о своемъ положеніи: что изъ нея выйдетъ? Часто вспоминая дѣвическія игры и куклы и припоминая разговоры отца, матери и разныхъ родныхъ и знакомыхъ, она давно понимала, что ея назначеніе—быть женой, а разговаривая съ подругами, она поняла, что̀ такое мужъ и жена, но только все еще не понимала, что̀ такое любовь и какъ можно сойтись такъ, чтобы выдти замужъ. Но мысль объ этомъ не давала ей покоя, когда она оставалась

одна: юная кровь ея волновалась, приливала къ головѣ, въ головѣ бродили какія-то несвязныя думы, сердце билось сильно. Она не понимала, что происходило въ ней, и при видѣ молодого человѣка въ сюртукѣ, съ которыми ей на старослободской сторонѣ встрѣчаться случалось рѣдко, она потупляла глаза, сердце билось еще сильнѣе, а если ее ущипнетъ старозаводскій парень, она хотя и отругивалась, и отмахивалась, но ей дѣлалось какъ-то неловко: она скоро убѣгала, а во снѣ ей мерещились вечерки, свѣчи свадебныя, что она гдѣ-то въ большой церкви стоитъ такая веселая, разодѣтая, народу много и слышитъ она говоръ: Оленку Токменцову-то, вонъ энту, вѣнчаютъ сегодня...

Мать ея стала замѣчать, что она нынче что-то часто сидитъ безъ дѣла, сложа руки, и ужъ доставалось же Еленѣ! Но она все переносила, только мать увеличивала за ней надзоръ, но можетъ ли тутъ имѣть силу надзоръ, когда человѣкъ только-что начинаетъ любить!?

И такое дѣло тоже не минуло Елену Гавриловну, и случилось это очень просто.

Была она какъ-то у своей подруги на вечеркѣ. На вечеркѣ было штукъ восемнадцать молодежи обоего пола; а наши народныя, особенно заводскія вечерки, рѣдко проходятъ безъ пѣсенъ, плясокъ и поцѣлуевъ; таковы ужъ наши пѣсни и обычай. Родители сами даютъ дѣтямъ волю, потому что хорошо знаютъ, что на вечеркахъ играютъ больше женихи и невѣсты (еще не помолвленные): изъ десяти человѣкъ непремѣнно пять женятся или выйдутъ замужъ, да и дѣвица, кромѣ вечерки, ни за что не дозволитъ чужому человѣку поцѣловать себя. На вечеркахъ съ Еленой очень часто танцовалъ столоначальникъ главной конторы, Илья Назарычъ Плотниковъ, человѣкъ 23 лѣтъ. Лицо его было хотя и некрасивое и немного попорчено отъ ушиба, но онъ такъ масляно-любезно глядѣлъ на нее своими черными глазами, такъ умильно улыбался, что она постоянно краснѣла отъ его пожатій, улыбокъ и поцѣлуевъ. Еще никогда она не была въ такомъ настроеніи, никогда не волновалась такъ, не билось такъ сильно ея сердце, что она сама не могла понять, что̀ съ ней дѣлается... «Господи! что это со мной стряслось?—думала она; вѣдь я плясала же съ другими: и съ приказными, и съ парнями, и ничего, а тутъ... оказія!»...

Плотникова она съ этихъ поръ не видала долго, а увидала его на гуляньи въ господскомъ саду, куда она зашла совсѣмъ случайно: мать послала ее на рынокъ; шла она мимо сада, смотритъ, народъ туда идетъ. Хочется посмотрѣть, что̀ тамъ дѣлается, да одѣта некрасиво, ну, да и хуже меня ходятъ и зашла. Вдругъ подходитъ къ ней Плотниковъ; на немъ пальто черное, новенькое, шляпа, сапоги со скрипомъ, въ одной рукѣ—тросточка, въ другой—папироска. Стыдно сдѣлалось Еленѣ, что она такая ненарядная.

— Здравствуйте, Елена Гавриловна,—проговорилъ онъ ей и протянулъ руку.

Елена Гавриловна закраснѣлась; руки ей дать не хочется; бѣжать хочется, да народу много.

— Здравствуйте. Вашу ручку прелестную.

Еще того стыднѣе сдѣлалось Еленѣ Гавриловнѣ. Народу идетъ много, всѣ ровно на нее глядятъ: она такая ненарядная, а онъ...

— Здоровы ли вы?

— Здорова...

— Пойдемте гулять.

— И нѣтъ... какъ можно!

— Хотите орѣшковъ?

— Покорно благодарю.

Плотниковъ досталъ изъ кармана пальто мелкихъ кедровыхъ орѣховъ двѣ горсти и далъ ихъ Еленѣ Гавриловнѣ; та не знала, куда ей дѣться съ орѣхами, потому что у нея не было въ сарафанѣ кармановъ. Плотниковъ какъ будто издѣвался надъ ея неловкостью, но она этого не замѣчала.

— Вы гдѣ живете?—спросилъ онъ дѣвушку. Та разсказала.—Можно къ вамъ зайти?

— И нѣтъ!... Узнаютъ наши, такъ и вамъ, и мнѣ достанется. Прощайте.

То ли отъ радости, что она увидала Плотникова, то ли отъ чего другого, она не помня себя пришла на рынокъ и вмѣсто полфунта соли купила фунтъ, а перцу купить позабыла. Шла она домой какъ помѣшанная, не зная, что съ ней дѣлается, но, пришедши во дворъ, она все-таки успѣла спрятать оставшіеся орѣхи подъ крылечко.

Черезъ четыре дня послѣ этого Елена Гавриловна сидѣла у окна съ работой. Мимо окна шелъ Плотниковъ; увидѣвъ ее, онъ снялъ фуражку и прошелъ мимо. Лицо Елены Гавриловны вспыхнуло, она ушла на крыльцо и стала какъ вкопанная, такъ что мать закричала на нее:

— Што ты, шкура барабанная, стоишь-то?

Елена Гавриловна вздрогнула и сказала:

— Ничего.

— Пошла въ избу, вынь изъ печки-то горшокъ. У!

И обидно же Еленѣ Гавриловнѣ сдѣлалось, что мать ея горя не знаетъ, а какое горе у нея—она не можетъ сообразить прямо; и досадно, что ей не удалось поговорить съ Ильей Назарычемъ. Ночью она была какъ въ бреду и пролежала до утра; то блохи, то клопы кусаютъ... «И что это со мной діется! прежде ровно они, проклятыя, не кусались... Ахъ поскорѣе бы увидать его... Нѣтъ, не надо... Ай бы да поговорить... Нѣтъ, увидятъ; въ саду бы...».

Плотниковъ что-то часто сталъ прохаживаться по слободѣ, такъ что это замѣтили рабочіе: «обломаемъ же мы этому долговязому ноги! Ишь, нюхаетъ што-то: вѣрно къ Токменцовой Оленкѣ подбирается, гадъ поганый». Однако его еще никто не побилъ, и Елена Гавриловна видѣла его не рѣдко.

Мать ничего не знала; она цѣлыя двѣ недѣли бѣгала изъ дому: то за Павла хлопотала, то по начальству бѣгала; теперь она ушла изъ дому, сказавъ дочери, что идетъ къ мужу.

Сегодня въ сумеркахъ Елена Гавриловна, какъ мы видѣли, сидѣла у стола скучная, и чего-то дожидалась. Вдругъ идетъ Плотниковъ; дрогнуло у нея сердце, не стерпѣла она и отворила окно, чего никогда не дѣлывала. Плотниковъ ей поклонился.

— Куда вы это ходите?—спросила она Плотникова.

— Тетка у меня тутъ живетъ у озера: Коропоткина.

— Знаю.

— Вы однѣ?

— Да.

— Можно зайти?

— О... нѣтъ!.. Право, боюсь.

— Ничего,—и онъ пошелъ къ калиткѣ.

Закраснѣлась Елена Гавриловна, подумала: «зачѣмъ онъ?», и пошла на крыльцо, надѣвъ предварительно на ноги башмаки. Во дворѣ, крытомъ навѣсомъ, лежала на полу, сдѣланномъ очень давно изъ досокъ, корова, неподалеку отъ нея лежали овечки, направо полѣнница осиновыхъ и березовыхъ дровъ, налѣво въ углу около стайки опрокинуты сани, долгушка, начатая на продажу нынѣшнимъ лѣтомъ, но неоконченная, и разный хламъ: колеса, жердочки, чурбаны, верешакъ, а посреди двора на веревочкѣ, протянутой черезъ весь дворъ, развѣшаны разныхъ величинъ тряпки. На крытое же крылечко нужно подниматься четырьмя ступеньками. На крылечкѣ рогожа, а въ углу повѣшенъ глиняный чайникъ, служащій вмѣсто умывальника. Въ сѣнцахъ, захламощенныхъ кадушками, тулками, вѣниками, ведрами, сѣльницей, довольно чисто.

— Здравствуйте, Елена Гавриловна!—сказалъ Плотниковъ.

— Здравствуйте,—едва слышно сказала Елена Гавриловна.

— Какъ поживаете?

— Ничего.

— Гдѣ же ваши-то?

— Мать ушла къ отцу на рудникъ.

Они вошли въ избу. Изба состояла изъ трехъ оконъ: два на улицу, третье во дворъ; въ переднемъ углу столъ стоитъ, а въ самомъ углу четыре иконы мѣдныя и передъ ними божничка, т. е. полочка и лампадка; передъ окнами двѣ лавки, на стѣнѣ приклеена картина страшнаго суда и два другія лубочныя изображенія; въ углу налѣво стоитъ шкафчикъ съ посудой, большая русская печь съ приступками, корчагами, кринками, лопатой деревянной и ухватами занимаетъ четверть избы; противъ печки большія полати, подъ ними противъ печки стоитъ двухспальная кровать съ плохонькой периной, двумя подушками, стеганнымъ изъ различныхъ лоскутковъ одѣяломъ; надъ кроватью въ углу виситъ сарафанъ, сермяга и большая шапка; подъ кроватью красный небольшой сундучекъ. На полу постланы половики изгребные, прибитые къ полу гвоздиками.

— Насилу-то я попалъ къ вамъ.

— Садитесь, гости будете.

— А вѣдь вамъ, чать, скучно?

— Ой, и не говорите!..

— Какъ же вы однѣ-то теперь спите?

— Ничего.

Она врала: ей очень было скучно, она боялась, чтобы кто не убилъ ее, особенно въ послѣднее время—ее пугали по ночамъ даже тараканы.

— Что вы подѣлываете?

— Чулокъ вяжу.

— Елена Гавриловна...

— Чего?

— Я весь измучился объ васъ... Не повѣрите... просто бы все такъ сидѣлъ съ вами, да на васъ глядѣлъ.

— Ой-ли?

— Ей-Богу, Елена Гавриловна!

— Ну?

— Я люблю васъ,—и онъ обнялъ ее, но она оттолкнула его, такъ что онъ чуть не свалился съ лавки.

— Отстаньте!

— Я люблю васъ.

— Поди-кось, такъ и повѣрили! Экъ, дуру какую нашли. Коли сидѣть хотите, такъ смирно сидите, а то свисну по чему придется.

— Экія вы жестокія!—и онъ взялъ ее за руку.

— Вамъ русскимъ языкомъ-то говорятъ!—и она ударила его по рукѣ.

Въ это время щеки у нея сдѣлались красными, грудь поднималась, она говорила не своимъ голосомъ.

— Матушка, Леночка, другъ... — шепталъ Плотниковъ, онъ сильно обнялъ Елену Гавриловну и поцѣловалъ ее.

— Ой! и она вырвавшись убѣжала къ дверямъ и сильно крикнула: — негодный человѣкъ вы послѣ этого!—и она заплакала.

Плотниковъ испугался; хотѣлось ему обласкать Елену, но она и слушать его не хотѣла.

— Уди ты отъ меня, аспидъ проклятый!.. Ну, какъ я теперь въ люди покажусь?

— Еленушка!

— Я, ей-Богу, закричу!

Плотниковъ пошелъ къ двери.

— Прощай!

Она молчитъ.

— Прощай!—и онъ пошелъ.

— Илья Назарычъ!—сказала она громко, но голосъ ея дрожалъ, и дернула его за сюртукъ; дернувши, она побѣжала къ окну и, какъ ни въ чемъ не бывало, сѣла на лавку.

— А!

— Нѣтъ, я ничего... А вы никому не скажете?

— Никому. Поцѣлуемся!

— А вотъ!—и она показала ему кулакъ.

Кажется Плотникову можно бы было уйти, потому что онъ завладѣлъ Еленой, но ему этого мало было: ему хотѣлось, чтобы она его сама поцѣловала, но она никакъ этого не хотѣла, и когда онъ еще обнялъ ее разъ, она наотрѣзъ сказала, что выгонитъ его, а цѣловать его теперь не будетъ, потому что грѣхъ. Такъ какъ это продолжалось часа два, то влюбленные сидѣли уже со свѣчой сальной, которую принесъ съ собой Плотниковъ. Богъ знаетъ, сколько бы они просидѣли, только скоро подъѣхалъ отецъ. Увидѣвъ съ улицы, что у дочери огонь, онъ почему-то вздумалъ взглянуть съ улицы въ окно... Ужасъ его былъ неописанный, но онъ сдержалъ себя.

ГЛАВА IV.

Судъ отца.

«Часъ отъ часу не легче!»—проговорилъ онъ про себя и сталъ отпирать ворота. Скрипъ отъ воротъ влюбленные услыхали, но Плотниковъ однако нашелся скоро: огонь потушили, а онъ, выскочивъ въ окно, побѣжалъ по улицѣ. Токменцовъ стоялъ въ воротахъ съ полѣномъ. Какъ только пробѣжалъ мимо Плотниковъ, онъ бросилъ за нимъ полѣно, но полѣно не попало.

— Я тебѣ, подлому человѣку! Попадешься въ другой разъ!... Собаки, усь! усь!—и вмигъ залаяли двѣ собаки, за ними шесть, и залаяли всѣ двѣсти старослободскихъ собакъ, а десять пустились въ догонку за Плотниковымъ.

Ганька ничего не понималъ и кое-какъ всползъ въ избу. Вошелъ въ избу и отецъ.

— Олёнка!—сказалъ онъ.—Вздувай огонь!

Вздула Елена огонь на лучину; оставшуюся свѣчку отъ Плотникова она успѣла спрятать, а отецъ объ ней позабылъ.

— У, подлая!—подошелъ къ ней отецъ и ударилъ ее крѣпко по спинѣ, такъ что она чуть не упала на полъ. Она заплакала.

— Пореви! У! будь ты проклятая!.. Дѣлай завариху, гадина. Есть щи-те?

— Не варили...

— А! все съ любовникомъ-то со своимъ стрескала?

— Тятенька...

— Поговори еще! Осподи, что за напасти! Экой я грѣшникъ такой!.. Да будьте вы всѣ...—и онъ плюнувъ вышелъ на дворъ распрягать лошадь.

Поспѣла завариха, состоящая изъ ржаной муки, разведенной въ горячей водѣ въ чугункѣ, и сгустившаяся въ глиняной латкѣ надъ огнемъ, разложеннымъ на шесткѣ. Елена постлала на столъ изгребную скатерть, принесла кринку молока, коврыгу ржаного хлѣба и потомъ латку съ кашей-заварихой. Снявъ халатъ, сапоги, оставшись въ рубахѣ и штанахъ и перекрестившись, отецъ сѣлъ молча съ Ганькой за столъ.

— А ты?

Сѣла и Елена. Отецъ привезъ съ собой полусальную свѣчку, доставшуюся ему изъ рудника, и воткнувъ ее въ середину заварихи, сталъ наблюдать, какъ растапливается сало, потомъ семейство стало кушать, запивая молокомъ. Отецъ съ сыномъ ѣли съ аппетитомъ, но Елена не могла ѣсть: ее душили слезы, слезы не наружныя, а внутреннія. Кто когда-нибудь бывалъ въ страшномъ горѣ и не имѣлъ возможности плакать при людяхъ, тотъ знаетъ эти слезы; человѣкъ сидитъ самъ не свой, не чувствуя, что кругомъ дѣлается, въ головѣ словно туманъ, только и вертятся какія-нибудь два слова; предметы, на которые онъ смотритъ, кажутся теперь или увеличенными, или уменьшенными, и глотаетъ человѣкъ что-то горько-соленое, а грудь ему давитъ, сердце бьется сильнѣе... И сколько страданій выражается на лицѣ и въ глазахъ Елены! То ей кажется, что отецъ вмѣсто того, чтобы почерпнуть деревянной ложкой кашу, хочетъ ее ударить, и она вздрагиваетъ, то ей убѣжать хочется изъ дому куда-нибудь далеко-далеко, или уйти въ сарай и тамъ выплакать свое горе.

Сидѣли всѣ молча. Ганька ѣлъ много, какъ голодная собака, и безсмысленно глядѣлъ, то на сестру, то на отца. Онъ не понималъ: зачѣмъ отецъ обзываетъ Олёнку нехорошими словами и ни съ того, ни съ сего ударилъ ее.

— Олёнка! ты чего не жрешь?—спросилъ онъ сестру съ участіемъ.

Отецъ промолчалъ, Елена хлебнула ложку и опять перестала ѣсть.

— Пошла прочь!—заревѣлъ отецъ.

Елена встала боязливо и потихоньку, бокомъ пошла къ печкѣ и стала, какъ статуя. Наружныя слезы не шли у ней по лицу.

А Токменцовъ ѣстъ за двоихъ; вотъ уже одна ложка осталась заварихи, наконецъ и та съѣдена, Задумался отецъ, подперевъ подбородокъ, и молиться не сталъ. О чемъ онъ думалъ? Мысль его не останавливалась долго ни на чемъ. Ему припоминался только рядъ несчастій: дранье, смерть сына, положеніе его жены, при воспоминаніи о которой какъ-будто что-то кололо его сердце, и самое главное и свѣжее—развратъ дочери. Ему хотѣлось избить дочь до смерти, но ему не хотѣлось встать, руки не поднимались, а ругаться онъ находилъ безполезнымъ, да и не находилъ словъ, какъ бы выругать дочь. Такъ просидѣлъ онъ съ полчаса и такъ простояла Елена, едва переводя духъ, чтобы не услышалъ ее отецъ. Услышь отецъ, что она плачетъ, быть бы ей битой, а пожалуй и калѣкой на всю жизнь. Между тѣмъ Ганька уже спалъ на печкѣ. Но вотъ отецъ всталъ, пошатнулся, глаза у него дикіе, онъ зло посмотрѣлъ на дочь, сжалъ кулаки и остановился; дочь выдержала этотъ взглядъ стойко; лицо у нея было бѣлѣе прежняго, она какъ будто готова была на все: «бей, тятенька: все равно, а однимъ покойникомъ больше будетъ»... Отецъ прошелъ къ кровати и легъ спать, не молясь Богу. Это было съ нимъ въ первый разъ въ жизни. Только одинъ тяжелый вздохъ послышался, какъ онъ легъ, и скрежетъ здоровыхъ зубовъ, и громко скрипнула кровать отъ его потяготы. Елена же между тѣмъ убрала со стола, погасила лучину и легла на лавку, положивъ подъ голову халатъ отца; сарафанъ она сняла. Тихо въ избѣ, только Ганька по временамъ туруситъ громко и хохочетъ, да тараканы черные, большіе и красные то шумятъ, то шлепаются съ потолка на полъ: не спитъ отецъ съ дочерью.

«Осподи Исусе! да пошто же ты экую напасть намъ грѣшнымъ приставилъ! Чѣмъ я-то хуже другихъ, чѣмъ я не человѣкъ. Вонъ Ганька шельмецъ говоритъ, што люди по нынѣшнему выходитъ все едино, што собаки. Онъ это по малолѣтству судитъ, оно вѣдь и правда»... И онъ сталъ думать: почему человѣкъ скотъ или собака, но хорошаго ничего не выдумалъ; надоѣло ему эти пустяки разбирать. Чѣмъ больше онъ думалъ, тѣмъ ему гаже казалась жизнь; какой бы предметъ ему ни пришелъ въ голову, этотъ предметъ злитъ его и онъ поворачивается зло со спины на бокъ, съ боку на спину... Теперь его сильно безпокоило поведеніе дочери, но, разбирая свою прошлую жизнь и сравнивая ее съ нынѣшнею молодежью

онъ приходилъ къ тому заключенію, что дѣвка съ жиру бѣсится: ей пора замужъ. Въ это время онъ услыхалъ всхлипыванья дочери. Нѣсколько времени онъ слушалъ это всхлипыванье; надоѣло оно ему, но языкъ не ворочался крикнуть.

«Экое дѣло случилось съ дѣвкой! и что это мать-то глазѣла, поганая. Ужо приди-ка, окаянная, што я съ тобой сдѣлаю»...

— Слышь ты, Оленка, не наводи меня на грѣхъ! Елена пуще всхлипывала.

— Тебѣ говорятъ!—крикнулъ отецъ. Настала тишина, только Елена сморкалась часто.

«Неужели же она тово?.. Спрошу ее я завтра, въ баню свожу, мыть себя заставлю. А за этова Плотникова ни за что не выдамъ. Лучше за Сеньку Турицына выдамъ, онъ что-то подмазывался ко мнѣ онномедни, а этому Плотникову я шею намылю, такъ ему и скажу завтра»...

Скоро Токменцовъ заснулъ; черезъ часъ послѣ этого, наплакавшись вдоволь, уснула и Елена Гавриловна.

ГЛАВА V.

Илья Назарычъ Плотниковъ.

Назаръ Иванычъ Плотниковъ, отецъ Ильи Назарыча, плавиленный мастеръ, человѣкъ очень солидной наружности и не послѣдняя спица въ заводской колесницѣ. Теперь ему уже сорокъ восемь лѣтъ, но онъ толстъ, какъ быкъ, здоровъ, какъ чортъ. Посмотрите вы на этого человѣка въ заводскомъ соборѣ: онъ, разодѣтый въ длинный сюртукъ, съ шелковымъ платкомъ на шеѣ, въ красной ситцевой рубахѣ, въ черныхъ плисовыхъ брюкахъ, засунутыхъ въ большіе свѣтлые сапоги, стоитъ впереди рабочихъ, немного позади заводскихъ властей: управляющаго, исправника, приказчика, горнаго смотрителя; поглаживаетъ гладко причесанные и напомаженные рыжіе волосы, окладистую рыжую бороду, брюшко, самодовольно покашливаетъ и важно искоса поглядываетъ на черный народъ, изъ котораго вышелъ его отецъ, бывшій заводскій управляющій. Но стоитъ только приказчику или управляющему обернуться и посмотрѣть на его особу, онъ тотчасъ приметъ самый смиренный видъ, а по первому ихъ зову онъ вмигъ подскочитъ къ нимъ, заложитъ руки назадъ, станетъ смотрѣть въ землю и ждать приказаній. Такъ, однажды онъ усердно молился на колѣняхъ; вдругъ управляющій обернулся къ нему и кивнулъ ему головой, — онъ вмигъ вскочилъ, подскочилъ къ управляющему и всталъ, какъ вкопаный. «Вотъ что, Плотниковъ: выплави къ завтрешнему утру сто пудовъ мѣди». «Исполню-съ», отвѣчалъ Плотниковъ, тотчасъ же вышелъ изъ церкви, вызвавъ предварительно изъ нея двадцать пять человѣкъ рабочихъ, не смотря на то, что они пришли съ работы вчера вечеромъ и не хотѣли идти на работу въ праздникъ. Набравъ еще рабочихъ, заручившись словеснымъ приказаніемъ управляющаго, онъ къ другому дню выплавилъ сто пудовъ мѣди, да еще себѣ хапнулъ малую толику—пудовъ пять. Рабочій народъ называетъ его не иначе, какъ варваромъ и отчаяннымъ воромъ на томъ основаніи, что онъ назначаетъ рабочихъ къ плавиленнымъ печамъ столько, сколько хочетъ, и если урокъ не выполнится, какъ слѣдуетъ, онъ или пишетъ записку нарядчику, и тотъ расправляется съ лѣнивыми посредствомъ розогъ, или заставляетъ человѣка работать вмѣсто одного дня двои сутки. Имѣя ключи отъ магазина, гдѣ хранится выплавленная мѣдь до склада, распоряжаясь работами на фабрикѣ по своей части, онъ очень хорошо знаетъ: сколько онъ выплавитъ мѣди изъ ста пудовъ руды, и въ этомъ случаѣ можетъ сколько угодно показать браковки, потому что управляющій требуетъ только металла, а заводскій приказчикъ съ нимъ за-одно.

Такимъ образомъ Плотникову хорошо живется: онъ имѣетъ въ заводѣ полукаменный домъ, оштукатуренный, хорошо меблированный; имѣетъ тысячъ пятнадцать наличнаго капитала, да еще надѣется пріобрѣсти столько же тѣмъ болѣе, что онъ знаетъ, что дѣла заводскаго управленія идутъ плохо. На фабрикѣ онъ хотя и бываетъ каждый день, но не на долго, потому что тамъ есть еще мастеръ и подмастеръ, которые тоже изъ-подъ его лапъ сыты живутъ и понастроили себѣ хаты не много похуже его; ѣстъ онъ хорошо, спитъ много, начальство его любитъ. Все хорошо, только ему все еще кажется, что у него денегъ мало, и хочется получить мѣсто заводскаго приказчика, а такъ какъ это мѣсто онъ можетъ получить не иначе, какъ если приказчику дадутъ другую должность, то онъ и заискиваетъ всячески у управляющаго.

Ему наконецъ жениться вздумалось. Была у него жена да умерла назадъ третій годъ. Родниться съ приказчикомъ ему не хочется, т. е. ему хочется сперва женить своего сына на дочери приказчика Елизарова, Марьѣ Петровнѣ; члены заводской конторы ему своихъ дочерей не отдадутъ, жениться на бѣдной нѣтъ разсчету. А у управляющаго, женатаго человѣка, есть гувернантка, которая, какъ ходятъ слухи, по настоянію жены управляющаго, скоро будетъ удалена изъ дому и замѣнится новой. Вотъ онъ и задумалъ жениться на ней, не смотря и на то, что она, говорятъ, вдвоемъ...

У Плотникова была дочь Раиса; та прошлою осенью выдана замужъ за исправническаго письмоводителя Алексѣя Александровича Серебрякова, живущаго и теперь въ Осиновскомъ заводѣ. Какъ она, такъ и Илья Назарычъ воспитывались нелѣпо. Положимъ, что няньки у нихъ не было, какъ это водится у людей состоятельныхъ, но Раиса и маленькая была дѣвочка капризная, упрямая, злая. Находясь подъ вліяніемъ глупой матери, считавшей себя важною особой, и жестокаго отца, который часто колотилъ дѣтей за шалость, за провинки, она сдѣлалась надутою, неговорливою и считала себя тоже чѣмъ-то въ родѣ барышни. Правда, она умѣла хозяйничать, шить, но была крайне лѣнива. Она очень любила покушать сладкое, поспать послѣ обѣда, посидѣть вечеромъ на улицѣ, любила вечерки, но и тамъ надменничала передъ своими подругами. При всемъ этомъ надо замѣтить еще, что она не умѣла читать и писать, несмотря даже на то, что отецъ эту науку старался вбить ей въ голову и шлепками, и драньемъ.

Совсѣмъ другое Илья Назарычъ. Раиса еще ви-

дѣла красные дни, а для него, бѣднаго, эти дни достаются только тогда, когда онъ сидитъ у Серебрякова. Про дѣтство его говорить много нечего: оно было хуже дѣтства рабочихъ на томъ основаніи, что его на улицу не выпускали, такъ какъ онъ приходился тогдашнему управляющему внукомъ; а Раиса, бывшая старше его двумя годами, играть съ нимъ не любила и часто жаловалась и сплетничала на него то отцу, то матери. Эта вражда между братомъ и сестрой шла съ дѣтства и особенно укрѣпилась съ тѣхъ поръ, какъ послѣ одной кляузной жалобы, братъ вымазалъ сестрѣ смолой щеки. Это было на двѣнадцатомъ году его жизни и этотъ несчастный годъ, когда отецъ его былъ въ работѣ на рудникахъ, онъ провелъ на работѣ около рудниковъ и тамъ чуть-чуть не былъ задавленъ обваломъ горы, отъ которой онъ таскалъ глину и песокъ. На рудникѣ ему много пришлось увидать и хорошаго, и худого, и онъ, привыкши къ рабочей жизни, до того свыкся съ ней, что черезъ годъ, когда отецъ, получивши должность мастера, взялъ его къ себѣ и отдалъ въ училище, онъ часто бѣгалъ изъ училища на рудникъ. Говорить подробно объ его дѣтствѣ нечего и потому еще, что читателямъ не нравятся невеселыя картины, а веселыхъ я пока не имѣю, потому что я пишу не идеалы земного счастья. Но какова бы ни была жизнь, у заводскаго человѣка тоже могутъ появляться въ головѣ разныя идеи. Вы можетъ быть помните, что въ заводѣ есть озеро, называемое по-заводски прудомъ. На этомъ пруду заводскіе ребята и молодые парни съ самаго основанія завода упражняются въ рыболовствѣ и въ игрѣ. Рыболовствомъ они занимаются лѣтомъ и весной, а зимой катаются по льду на коньках и дерутся партіями—старозаводчане съ запрудчанами. Драться Ильѣ Назарычу приходилось рѣдко, да и его всегда побивали, за то ему дозволяли рыбачить. Сначала онъ рыболовилъ, но когда тѣ стали отнимать у него рыбу, онъ уходилъ въ уединенныя мѣста, а если тутъ рыба не клевала, онъ все-таки сидѣлъ тутъ долго, положивъ удилишко на берегъ и скрестивши руки на груди, онъ смотрѣлъ все на одно мѣсто и думалъ: какъ бы ему хорошо быть богатымъ, такимъ же довольнымъ, какъ и его отецъ, но жить бы честно, не воровать, не стѣснять рабочихъ, а главное, быть не битымъ и свободнымъ: куда пошелъ, туда и ладно, что хочешь дѣлать, такъ и дѣлай. Его постоянно мучила мысль: зачѣмъ это всѣ обитатели завода находятся въ какомъ-то рабствѣ. Спросилъ онъ стариковъ рабочихъ объ этомъ предметѣ, и тѣ открыли ему глаза. Зло взяло Илью Назарыча, да ничего не подѣлаешь.

Поступилъ на службу на заводскую контору и ему опротивѣли плоскости товарищей. Послали его въ городъ къ повѣренному; тамъ онъ насмотрѣлся еще больше плутней. Здѣсь столкнулся съ порядочными людьми. Онъ принялся читать книги, но серьезнаго онъ не могъ понять, знакомые его не могли ему объяснить и самъ онъ мыслить былъ не въ состояніи. Такъ онъ и бросилъ читать серьезное. Въ головѣ забродили какія-то хорошія мысли и онъ сталъ сочинять стихи, но выходило худо. И эти занятія онъ бросилъ. Молодая его натура чего-то требовала, хотѣлось ей жить настоящею жизнью, а кругомъ онъ видѣлъ только гадость и мерзость. Съ отвращеніемъ ко всему, онъ пріѣхалъ въ заводъ, гдѣ его, прослужившаго хорошо въ уѣздномъ судѣ и у повѣреннаго, сдѣлали столоначальникомъ; но онъ не могъ ужиться съ заводскими порядками; его отправляли въ полицію подъ арестъ и даже разъ выстегали за то, что онъ сказалъ грубость одному изъ членовъ главной конторы, а не смѣняли его съ должности только потому, что онъ переписывалъ записки управляющаго, часто прислуживалъ у него въ родѣ лакея и разъ даже удостоился похристосоваться съ нимъ въ Пасху,— большая честь въ заводѣ.

Можно сдѣлать заключеніе, что для молодого человѣка жизнь была очень скверная.

Елену Гавриловну онъ зналъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ танцовалъ съ ней на вечеркѣ. Онъ еще прежде встрѣчалъ ее раза два на старозаводской слободѣ, когда ходилъ къ теткѣ Коропоткиной, и тогда она произвела на него пріятное впечатлѣніе; потомъ онъ видѣлъ ее на рынкѣ въ базарный день. Онъ торговалъ мясо такъ себѣ только для того, чтобы ближе вглядѣться въ нее. Послѣ этого онъ думалъ объ ней долго, но потомъ такъ позабылъ со временемъ до вечерки, а съ этихъ поръ мысль жениться не покидала его. Но какъ жениться? Что скажетъ еще отецъ? И все-таки, несмотря на эти тяжелыя сомнѣнія, онъ, какъ мы знаемъ, путешествовалъ на старозаводскую слободу и узналъ-таки, что и она его любитъ.

Бѣжитъ Илья Назарычъ по старозаводской улицѣ и ногъ подъ собой не слышитъ; слышалъ онъ, какъ будто что-то пролетѣло мимо него, и пустился бѣжать. Вотъ залаяло собачье войско, двѣ собаки сцапали его за фалды сюртука, третья укусила ему ляжку. Отъ боли онъ не вскрикнулъ, а принялся бросать въ собакъ каменья, но попадалъ плохо, да и что онъ могъ сдѣлать съ двадцатью собаками, съ ожесточеніемъ нападавшими на него?

— Проклятая слобода!—шепчетъ онъ.

— Эй ты, балда! стой!—прокричалъ мужской голосъ въ темнотѣ.

— Послушай, другъ любезный, прогони пожалуйста собакъ—искусали.

— Цыцъ вы, шельмецы! Цыцъ!..—Собаки долго еще лаяли, потомъ мало-по-малу стали отступать отъ Ильи Назарыча.

— Што ты тутъ шляешься?

— Я... ничего... я у тетки былъ.

— Я вотъ тѣ покажу тетку. Скидавай сюртученко-то.

— Послушай, пріятель, я человѣкъ бѣдный.

— Эй, Онисимъ, подь сюда! — и говорившій схватилъ Илью Назарыча за горло. Явился другой человѣкъ.

— Въ воду его. Да это никакъ сынокъ Назарка Плотникова.

— Онъ.

— Братцы! вы знаете вѣдь моего отца. Зачѣмъ вы меня-то обижаете?

— За то, что онъ подлецъ. Такъ ты ему и скажи, да и зятьку твоему тоже скажи, а коли не скажешь,

въ другой разъ мы тебя стеганнаго представимъ ему. Скидавай, тебѣ говорятъ, сертукъ-то.

— Да вѣдь онъ на мои деньги шитъ, братцы!..

— Не ходи въ нашу слободу! Зачѣмъ ты насъ побезпокоилъ, коли знаешь, што намъ завтра чѣмъ свѣтъ надо на рудникъ идти?—И съ него сняли сюртукъ со всѣми принадлежностями.

— Братцы, какъ я домой приду... Вѣдь я за дѣломъ ходилъ.

— Ходи днемъ. Ишь нашелъ удовольствіе въ нашихъ дѣвкахъ... Знаемъ, какъ ты у Токменцова марену копалъ. А ты еще его не знаешь, а мы за него всегда постоимъ: дѣвка тебѣ не пара.— И съ бѣднаго Ильи Назарыча сняли фуражку, жилетъ и, вышедши на мостъ, толкнули въ шею:

— Вотъ тебѣ наука! Вдругореть придешь, ей-Богу выстегаемъ. Наши для своихъ парней годятся.—И мужики ушли, хохоча во все горло. Немного погодя одинъ изъ нихъ закричалъ:

— Эй, парнюга, подь-ко сюда, чего стоишь, хнычешь у перилъ-то!

Илья Назарычъ дѣйствительно стоялъ у перилъ; онъ не зналъ, какъ ему явиться передъ отцовскія очи и куда идти. Онъ подошелъ къ говорившему.

— Ты, послушай, можешь считать насъ за разбойниковъ. Ты дуракъ послѣ этого: мы тѣ острастку дали и обижать тебя не стоитъ, ты парень хорошій, въ золотыя бы руки тебя надо отдать ошлифовать. Одежду твою намъ не надо; на кой ее бѣсъ; въ озеро разѣ? Возьми, дуй те горой, только смотри, парень, скажи своему Назарку, чтобъ онъ много-то не разбойничалъ: мы вѣдь и того... Знаешь! А въ другой разъ придешь въ чужой огородъ, ей-Богу, выстегаемъ. Пьешь водку?

— Немного.

— Есть деньги?

Двое рабочихъ отдали Ильѣ Назарычу его одежду и потомъ пошли съ нимъ въ кабакъ. Дорогой они сказали ему:—мотри, Илюха, не ошибись въ разсчетѣ: едва онъ, Токменцовъ-то, выдастъ за тебя Олену, потому самому, што онъ не захочетъ родниться съ твоимъ отцомъ.

— Да я-то какъ же?..

— Э! мало што-ль дѣвокъ-то?

Когда онъ пришелъ домой, отецъ уже спалъ крѣпко. Кухарка спросила его хочетъ ли онъ ужинать. — Илья Назарычъ отказался. Измученный дневными похожденіями, онъ скоро заснулъ.

ГЛАВА VI.

Исторія Осиновскаго завода.

Здѣсь мы дѣлаемъ небольшое отступленіе и посмотримъ, какъ устроился Осиновскій заводъ. Благо наши герои спятъ.

Сомнительно, чтобы сѣверо-востокъ нашего отечества съ давняго времени былъ обитаемъ русскими людьми, потому что въ то отдаленное время на Руси людей было еще немного и они не забирались въ эти края. Уже послѣ, когда показалось людямъ жить дома тѣсно и случались такія обстоятельства, что имъ хотѣлось жить самостоятельно, свободно,—то люди начали селиться дальше отъ старыхъ земель и городовъ, по здѣшнимъ лѣсамъ.

Люди эти промышляли звѣринымъ и рыбнымъ промысломъ и дѣлали то, чему научились отъ отцовъ, или сами доходили до какого-нибудь новаго промысла. Такіе люди или вели жизнь бродячую, путешествуя по горамъ, лѣсамъ, плавая по большимъ рѣкамъ, какъ и теперь есть много подобныхъ людей въ Архангельской губерніи, или селились при какой-нибудь рѣкѣ. Такихъ людей, какъ мы знаемъ, въ XV столѣтіи было не мало, и многіе изъ этихъ «гулящихъ» людей, недовольствуясь звѣринымъ промысломъ, обогащались посредствомъ набѣговъ на осѣдлыхъ жителей и крѣпко пошаливали, чему способствовали глухіе лѣса и большія рѣки.

Эти бродячіе рабочіе люди открыли случайно соляные промыслы, желѣзную и мѣдную руду. Сначала они вырабатывали руду сами, а потомъ узнали объ ней сильные и богатые люди, которые и забрали себѣ большія пространства земли. Но простые рабочіе не въ состояніи были жить новыми промыслами; издѣлія ихъ были слишкомъ грубы и неприбыльны, и наконецъ они совершенно подпали вліянію богатыхъ людей, которымъ дарились здѣсь земли въ полную собственность. Крестьянамъ не давалось права самимъ *на себя* разрабатывать руду и торговать ею, такъ же, какъ и теперь крестьянинъ можетъ только за извѣстную плату искать, добывать руду или золото, а торговать этими вещами не имѣетъ права. Люди, жившіе прежде на этихъ земляхъ свободно или только вступившіе на эту почву, захватывались и причислялись къ владѣльческимъ землямъ, выгонялись на работы и постепенно становились рабами разныхъ богатыхъ людей. Такое положеніе дѣла было въ концѣ XVII и развивалось постепенно въ теченіе всего XVIII столѣтія.

Но рабочихъ людей все-таки было немного на промыслахъ и рудникахъ: туда шли только самые бѣдные, бѣглые, или ловились разные бродячіе люди, а многіе, не могши вынести тяжелой работы, шли прочь въ другія мѣста. Увеличенію числа рабочихъ способствовали много разныя несчастія, постигавшія бѣдныхъ людей и загонявшія ихъ сюда: голодъ, обиды и т. п. и особенно — расколъ въ русской церкви.

Въ старослободской сторонѣ назадъ тому лѣтъ двѣнадцать жило семейство Моховыхъ. Это семейство, теперь выселенное въ Сибирь за расколъ, было потомствомъ Мохова, перваго обитателя и основателя нынѣшняго завода. Отъ Мохова Осиновскій заводъ и ведетъ свою исторію.

Дѣло было такъ. Въ концѣ XVII столѣтія сюда забрался одинъ состоятельный человѣкъ безпоповщинской секты, Кирила Моховъ, служившій у какого-то воеводы. Когда его стали принуждать слѣдовать новому ученію, онъ, человѣкъ неглупый, но твердо увѣренный въ своей безошибочности и ненавидѣвшій своего господина, рѣшился не уступать. Его посадили въ подвалъ, пытали тамъ, но потомъ облагодѣтельствованные имъ люди выпустили его и долго скрыва-

ли въ городѣ. Когда ему нельзя было скрываться долго въ городѣ, онъ подговорилъ нѣсколько человѣкъ уйти изъ города попытать счастья въ другихъ мѣстахъ. Годовъ шесть онъ былъ атаманомъ разбойнической шайки, четыре раза его ловили, но онъ опять бѣгалъ. Года три онъ грабилъ строгоновскихъ людей и, награбивши много разныхъ вещей, захотѣлъ закончить жизнь свою мирно, т. е. почить отъ своихъ трудовъ. Жить въ строгоновскихъ городахъ ему не хотѣлось, потому что онъ отвыкъ давно отъ всякаго подначала, и послѣ долгихъ поисковъ выбралъ себѣ хорошее мѣсто у одного озера. Озеро это имѣло верстъ двадцать длины и отъ полуторы версты до пяти верстъ ширины. Онъ выбралъ себѣ у озера почти недоступное для другихъ людей мѣсто: съ одной стороны было озеро, съ другой—крутая гора, а съ остальныхъ—болото. Построивши двѣ землянки, онъ съ своимъ семействомъ, которое состояло изъ жены, двухъ сыновей—одного женатаго, съ своими дѣтьми, одного холостого и одной дочери,—прожилъ хорошо на новомъ мѣстѣ годовъ шесть. Въ это время онъ съ семействомъ ловилъ рыбу изъ озера, расчищалъ лѣсъ, сталъ обрабатывать землю, но земля въ первое время давала только кормъ для скота, который былъ добытъ отъ крестьянъ строгоновскихъ селеній. Питаться одной рыбой эти обитатели не могли, а потому сыновья Мохова часто ѣздили въ города, предварительно грабили по дорогамъ православный людъ и такимъ образомъ запасались въ городахъ нужными припасами, обмѣнивая краденыя вещи то въ городахъ, то въ селеніяхъ. Сыновья Мохова завели знакомство съ поселянами, и многіе изъ поселянъ, жившіе подъ началомъ и перебивавшіеся кое-какъ, захотѣли поселиться съ ихъ отцомъ. Это были старовѣры, переселившіеся сюда почти въ то же время, когда и Моховъ поселился у озера. Съ сыновьями Мохова жители одного селенія послали къ Мохову одного довѣреннаго человѣка съ грамотой—принять ихъ къ себѣ и такимъ образомъ устроить независимое селеніе. Старикъ Моховъ самъ поѣхалъ въ селеніе, вывѣдалъ отъ просившихся, что̀ это за люди, и изъявилъ согласіе на ихъ принятіе. Переселеніе продолжалось два года, и затѣмъ вскорѣ переселенцы понастроили десятка два домовъ вдоль по озеру.

Всей этой толпой управлялъ сначала старикъ Моховъ, который считался главой, какъ по старости лѣтъ, такъ и потому, что онъ умѣлъ рѣшать всякіе споры и неудовольствія въ селеніи. Кромѣ этого онъ считался за атамана, потому что, если кто-нибудь жаловался на свою бѣдность и недостатки, онъ, желая помочь ему, отряжалъ нѣсколько человѣкъ для грабежа, который, всегда дѣлаясь умѣючи и ловко, оканчивался благополучно, и половина добытаго имущества поступала во владѣніе бѣднаго человѣка, а другая половина дѣлилась на участниковъ въ грабежѣ. Моховымъ установлены были такія правила: каждому новоприбывшему члену ихъ секты помогать съ общаго совѣта—поселянамъ напримѣръ строить домъ; неженатому дать жену; больному помогать общимъ совѣтомъ и всячески заботиться объ его сбереженіи; если человѣкъ мужского пола увѣчился, тому помогать общими силами. Моховъ былъ вообще старшиною надо всѣми; онъ также справлялъ и всѣ религіозные обряды или въ особо устроенномъ для этого скитѣ, или въ домахъ. Онъ же и далъ названіе селенію Осиново потому вѣроятно, что лѣсъ состоялъ большею частію изъ осиновыхъ деревьевъ. По селенію также называлось и озеро.

Осиновскіе жители крѣпко принялись за расчистку лѣсовъ и за обработку земли, но земля давала мало. Попробовали ловить рыбу, но въ селахъ и въ городахъ покупателей было такъ мало, что рыбу приходилось возить назадъ. Выдумывали они и дѣлали разныя вещи, но эти вещи купить было некому... Оставалось только промышлять звѣрями и воровствомъ; но звѣри людей не обезпечивали, потому что въ селахъ и городахъ были свои продавцы этихъ шкуръ, а промышлять разбоемъ опасно. Положеніе осиновцевъ становилось незавидное, а уйти въ другое мѣсто не хотѣлось. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ.

Осиновцы, потерявшіе надежду на хорошую производительность земли, стали рыться въ разныхъ мѣстахъ: одни отыскивали разные клады, думая найти богатства, спрятанныя можетъ быть татарами, набѣгавшими на наше отечество, другіе отыскивали соляные ключи, третьи, болѣе сообразительные, желали открыть въ землѣ что-нибудь болѣе выгодное. Первые ничего не находили, но послѣдніе открыли въ горѣ мѣдную руду и всѣ осиновцы принялись рыть гору. Одни изъ нихъ отрывали мѣдную руду, другіе находили желѣзную. Дошедши до того, что руду можно сплавлять, они стали ее сплавлять и сплавленные металлы возили въ города, гдѣ продавали ихъ за хорошія деньги или вымѣнивали на припасы. Потомъ осиновцы дошли до того, что стали изъ руды выдѣлывать вещи, необходимыя для хозяйства, и излишекъ опять промѣнивали въ городѣ. Такимъ образомъ осиновцы обратились въ горныхъ рабочихъ людей и получали отъ своей работы хорошее обезпеченіе.

По смерти Мохова, съ общаго согласія, осиновцами сталъ управлять старикъ Илья Крюковъ. При немъ они завели свой судъ и расправу такого рода: воръ долженъ былъ возвратить все имущество хозяину; если онъ не могъ отдать украденаго, то становился работникомъ хозяина на годъ или больше; убійца спускался съ камнемъ въ озеро. Свадьбы можно было вѣнчать родителямъ у себя дома; сводный бракъ не считался грѣхомъ; крещеніе дозволялось только при смерти и человѣкъ женатый не могъ креститься. Самоубійство не считалось грѣхомъ и проч. При этомъ не считался грѣхомъ бракъ съ сестрой и не считалось грѣхомъ то, что̀ мы называемъ развратомъ... Всѣ они жили дружно. Къ себѣ они принимали только людей ихъ секты.

Такъ существовали осиновцы лѣтъ тридцать и въ селеніи было уже около семидесяти деревянныхъ домиковъ, въ которыхъ обитало около трехъ сотъ человѣкъ жителей обоего пола. Вдругъ съ ними случилось несчастіе. Ѣздили въ городъ шесть человѣкъ осиновцевъ продавать какія-то мѣдныя вещи. На рынкѣ ихъ схватили и представили къ воеводѣ. Воевода долго выспрашивалъ, откуда они пріобрѣтаютъ

вещи, потому что въ городѣ давно замѣчали за ними. Осиновцы молчатъ. Это молчаніе воевода счелъ за упорство, сталъ ихъ пытать. Пять человѣкъ умерло, шестой рѣшился показать гору. Нарядили военныхъ людей и, заковавши въ колодки, несчастнаго привели въ селеніе. Тамъ осиновцы выручили его, побили много военныхъ людей, а уцѣлѣвшіе донесли воеводѣ о томъ, что-они видѣли большое село, что тамъ люди умѣютъ драться и ими управляетъ какой-то человѣкъ. Воевода еще не совсѣмъ зналъ мѣстность; его разобидѣло то, что его солдатъ побили крестьяне, пошелъ самъ на нихъ войной, спалилъ слободу, убилъ нѣсколько человѣкъ, остальныхъ взялъ въ плѣнъ. Но человѣкъ пятьдесятъ, въ томъ числѣ и внукъ перваго Мохова, убѣжали въ лѣса.

Когда воевода пріѣхалъ въ городъ съ плѣнными, тогда явился къ нему боляринъ Граблевъ съ грамотой отъ царя, что ему жалуется такой-то округъ для разработки руды, и сталъ требовать народу. Воевода отдалъ ему, въ числѣ прочихъ, и плѣнныхъ осиновцевъ. Граблевъ обласкалъ осиновцевъ и сталъ просить ихъ указать имъ мѣсто нахожденія руды. Осиновцы проклинали всѣхъ людей, говоря, что пришелъ антихристъ, но голодъ и бѣдствія склонили нѣкоторыхъ на то, что они разсказали Граблеву, гдѣ находятся разныя руды, но и просили нѣкоторыхъ преимуществъ, какъ-то: давать имъ половину руды, денегъ, построить избушки и не селить людей другихъ сектъ. Граблевъ сказалъ, что онъ этого сдѣлать не можетъ, потому что воля царская такая: добывать руду на царя посредствомъ всякаго народа, и только соглашался построить имъ избенки.

Стали они строить избушки, а работали плохо. Въ годъ избушки были готовы, а добыча руды шла туго, такъ что Граблевъ рѣшился принять противъ осиновцевъ крутыя мѣры; въ селеніи водворился раздоръ, нѣсколько семей убѣжало въ Сибирь, но остальные осиновцы на дорогѣ ихъ ограбили, бо́льшая половина остальныхъ ушла спасаться въ лѣса, а немногіе, особенно молодежь, остались въ селеніи и работали на Граблева. Между тѣмъ у Граблева много было набрано народа изъ разныхъ селеній, только селиться этимъ людямъ въ селеніи Осиновомъ было негдѣ, потому что съ одной стороны была гора Лапа, съ другой—озеро, а съ третьей — лѣсъ и болото. Новые люди нашли удобнымъ селиться по ту сторону озера, да и по мѣсту рудника имъ было выгоднѣе строиться отдѣльно отъ старыхъ осиновцевъ: Граблевъ далъ этому мѣсту названіе *Слобода Осиновская*, а осиновское селеніе назвалъ *Осиновскій заводъ*. Итакъ работы становились обширнѣе; но мастеровъ хорошихъ было немного, мѣдная и желѣзная руда разрабатывалась плохо, неумѣло и лѣниво. Народу прибывало все больше и больше, въ слободѣ было уже до сорока домовъ, но народъ сначала получалъ отъ Граблева очень мало, отчего въ обѣихъ сторонахъ начались грабежи и убійства; по озеру опасно было плавать даже днемъ.

Въ это время осиновцы, жившіе въ лѣсу и промышлявшіе разбоемъ, соскучились объ родномъ гнѣздѣ, имъ надоѣло шататься по лѣсамъ, да и грабить много не приходилось; тогда они стали высматривать да выспрашивать, что дѣлается въ селеніи, какіе тамъ порядки заведены? Узнали, что жить можно. Граблевъ обѣщаетъ платить деньги за работу, послали своихъ стариковъ къ нему просить принять ихъ въ мастера, такъ какъ эти старики хорошо знаютъ свое дѣло. Граблевъ принялъ ихъ радушно и положилъ платить мастерамъ по рублю за сто пудовъ чистаго металла, а рабочимъ въ недѣлю по гривнѣ. Но это была приманка. Граблевъ зналъ, что осиновцы свое дѣло знаютъ, силой ихъ заставить невозможно, поэтому онъ и далъ имъ такую плату до поры до времени. Собрались всѣ бѣглецы въ Осиновскій заводъ, обстроились, какъ слѣдуетъ, приняли начальство надъ остальными и принялись за работу, но все-таки работа шла туго. Пріѣхали къ Граблеву иностранные мастера, покачали головой и посовѣтовали ему строить фабрику на озерѣ. Долго дивились осиновцы надъ такой выдумкой, а Граблевъ, отставивъ осиновцевъ отъ управленія надъ рабочими и разныхъ мастерскихъ занятій, велѣлъ выпустить озеро посредствомъ канала въ пробѣгавшую въ верстѣ отъ озера налѣво противъ горы рѣчку, и строилъ плотину между Осиновскимъ заводомъ и Осиновской слободой. Народу потребовалось много; плату Граблевъ обѣщалъ рабочимъ хорошую. Рабочихъ людей дѣйствительно явилось много. Работа закипѣла. Поспѣла наконецъ и фабрика; Граблевъ объявилъ народу, что обѣ стороны назвалъ онъ *Осиновскимъ заводомъ*, что по указу государеву жители осиновскаго селенія подарены ему навсегда, а—осиновской слободы причислены къ нему для работъ, всѣ состоятъ подъ его вѣдѣніемъ, и онъ будетъ нести за нихъ всякія повинности. Осиновцы ахнули, да поздно... Попробовали нѣкоторые бѣгать, ихъ ловили...

Кромѣ Осиновскаго завода у Граблева были другіе рудники верстахъ въ пятидесяти, ближе и дальше отъ завода, а такъ какъ мѣстность Осиновскаго завода ему нравилась и народу было уже около тысячи человѣкъ, то онъ избралъ его резиденціей своихъ владѣній и велѣлъ строить себѣ большой каменный домъ. Оставалось только завести администрацію, потому что ему за всѣмъ слѣдить было некогда, нужно было часто ѣздить по дѣламъ въ города. Вызвать изъ большихъ городовъ приказныхъ людей тоже дѣло неподходящее, потому что приказный людъ въ то время отличался чрезмѣрною грубостью, составляя что-то среднее между дворянами и вооруженной силой, и народъ ихъ не любилъ. Положиться на мастеровъ-иностранцевъ тоже не ловко, потому что они русскаго языка не знаютъ; долго думалъ Граблевъ и рѣшился опредѣлить стариковъ старослободчанъ въ разныя должности, какія теперь называются: надзиратели, штейгера (штейгера впрочемъ были иностранные), нарядчики и другіе. А старослободчанъ Граблевъ назначилъ потому, что они говорили толково и прямо, не пьянствовали и работы исполняли хорошо. Въ годъ онъ убѣдился, что работы дѣйствительно идутъ хорошо, и во всемъ довѣрился имъ. По мѣрѣ того, какъ у него увеличивалось производство, онъ строилъ другіе заводы, посылая туда старослободчанъ и выписывая изъ-за границы мастеровъ и механиковъ для улучшенія горнаго производства.

Металловъ у Граблева было много и онъ каждое лѣто отправлялъ ихъ караванами по рѣкамъ въ разные города, потомъ въ Петербургъ, откуда нѣкоторые шли и за границу. Отъ правительства онъ получалъ большія награды, отъ продажи —большія деньги, и въ десять лѣтъ его житья въ заводѣ послѣдній походилъ на городъ: въ немъ была православная церковь, двѣ молельни у раскольниковъ, большой господскій домъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ большой господскій же домъ, три фабрики: кричная, доменная и кузнечная. Жители обѣихъ половинъ завода года три жили между собой мирно, выговоривъ себѣ право: старослободчанамъ селиться въ своей слободѣ и не селиться тутъ запрудскимъ, а старослободчане по старшинству могутъ строить дома и въ запрудской сторонѣ; за работы они получали муку и небольшую плату. Но потомъ стали появляться случаи такого рода, что запрудскіе попадались въ воровствѣ желѣза; запрудскіе говорили, что воруютъ и старослободчане, но старослободчанъ не могли поймать съ желѣзомъ, хотя они цѣлую лишнюю барку отправляли при караванѣ съ своимъ желѣзомъ (приказчиками на караванахъ были старослободчане). Отъ этого обѣ стороны возненавидѣли другъ друга до того, что въ старой слободѣ даже днемъ нельзя было пройти запрудскимъ.

Кромѣ праздниковъ и одного лѣтняго мѣсяца рабочіе должны были работать постоянно то на рудникахъ, то на фабрикахъ, то въ лѣсу. Работы были назначены и днемъ, и ночью. Каждый мужчина долженъ былъ работать съ 5 часовъ утра до 11 часовъ пополуночи (дня), остальное время былъ свободенъ до 5 часовъ утра, и съ 12 часовъ до 5 часовъ утра. За ночныя работы прибавлялось больше жалованья и хлѣба. Рабочій, прогулявшій рабочій день, долженъ былъ наверстать суточной работой или поставить вмѣсто себя рабочаго. Ни одинъ осиновецъ безъ спросу начальства не могъ отлучаться изъ завода въ городъ или куда-нибудь. Такія мѣры людямъ казались строгими, но они ничего не могли сдѣлать, потому что ослушниковъ послѣ нѣсколькихъ наказаній сажали въ городской острогъ, а потомъ работа обратилась въ привычку. Ребятъ не заставляли работать до семнадцати лѣтъ; затѣмъ ихъ начинали давать работу. Только однѣхъ женщинъ не трогали; онѣ справляли свои дѣла дома: рожали исправно дѣтей, водились съ ними и занимались хозяйствомъ. Были правда и тогда такіе люди, которые работами не занимались. Это были люди, которые пользовались особенною милостію нарядчиковъ или ставили вмѣсто себя рабочихъ, а сами добывали себѣ пропитаніе работами на жителей и торговлей на заводѣ.

Въ заводѣ Граблевъ завелъ школу и заводскую контору, которая управляла другими заводами. Въ школѣ учились только дѣти запрудскихъ жителей, но въ контору больше поступали дѣти старослободчанъ, которые дѣтей своихъ учили сами.

Отправлявшіеся съ караванами старослободчане сильно богатѣли, потому что барки нерѣдко разбивало, желѣзо тонуло, а послѣ въ мелкую воду вытаскивалось и поступало въ ихъ пользу: напишутъ отчетъ, что утонуло да и все тутъ. Они, побывавши въ разныхъ мѣстахъ, видя много людей, возвращаясь домой, выглядывали уже не прежними святошами: начинали отставать отъ прежнихъ обычаевъ и исправляли свои обряды только для порядка. Они уже не хотѣли жить въ слободѣ, начинали важничать, строили каменные дома въ запрудской сторонѣ и на своихъ смотрѣли свысока; владѣлецъ дорожилъ ими, считая ихъ за честныхъ людей. По своему наряду они уже нисколько не походили на раскольниковъ, хотя и говорили старослободчанамъ, что они держатся ихъ сектъ. Старослободчанамъ казалось это соблазномъ, они упрекали про себя своихъ начальниковъ, но вслухъ ничего не могли сказать и думали, какъ бы имъ самимъ сдѣлаться такими же. Запрудскихъ это злило. Были конечно и тамъ честные, трудолюбивые люди, но Граблевъ не видѣлъ ихъ.

Но вотъ Граблеву душно сдѣлалось жить въ заводѣ, непріятно показалось такому богачу водить дружбу съ мѣстными начальниками, которыхъ онъ могъ бы трусить, но которые его боялись, и поѣхалъ онъ въ Петербургъ, а оттуда за границу, на мѣсто же себя назначилъ управляющаго изъ старослободчанъ.

Старослободчане стали лѣниться, имъ подражали запрудскіе, начались грабежи, разбои на озерѣ. Управляющій рѣшился наконецъ употреблять строгія мѣры: онъ сталъ сажать людей въ острогъ, приказывалъ наказывать розгами, — рабочіе унялись, но работы шли плохо, съ караванами годъ отъ году больше и больше стало случаться несчастій; стали воровать изъ фабрикъ металлы; провіанту не доставало, денегъ не выдавали.

Стали рабочіе жаловаться по начальству — имъ же было хуже, потому что имъ не довѣряли...

И при другомъ управляющемъ положеніе рабочихъ не улучшилось. Заводъ правда по наружности казался красивымъ, появилось больше домовъ каменныхъ, стали строить единовѣрческую церковь; сдѣлали новую плотину, перестроили господскій домъ, фабрики, но въ деревянныхъ двухъ-оконныхъ домахъ обитала страшная бѣдность. Управляющій изъ новослободчанъ всячески старался, чтобы руды добывалось больше. Рабочихъ посылали на работы палками, за работами били; увеличилась кража металловъ, воровство и безпорядки.

Умеръ Граблевъ, объявили въ заводѣ, что владѣлецъ теперь сынъ его Григорій Иванычъ; сослужили въ церквахъ молебны за его здравіе, выставили рабочимъ три бочки водки; закутили рабочіе обѣихъ сторонъ, передрались обѣ стороны и работы прекратились на трои сутки. Теперь порядки сильно измѣнились: Граблевы—ихъ съ теченіемъ времени смѣнилось нѣсколько поколѣній—не жили больше на заводѣ, который такимъ образомъ вполнѣ оставался въ распоряженіи управляющихъ. Дѣла завода постепенно расширялись: число рабочихъ увеличивалось, отыскивались новыя мѣста разработки. Теперь и чинопочитаніе много измѣнилось: управляющій былъ для рабочихъ такое лицо, котораго они могли видѣть только въ церкви, на-домъ къ нему рабочихъ не допускали, а за всѣми нуждами рабочіе допускались сперва къ нарядчикамъ, нарядчики къ приказчи-

камъ, которые, отсчитываясь управляющему, дѣлали что хотѣли, и въ годъ наживали тысячъ по пяти денегъ, если не больше. Но, не смотря на бѣдственное положеніе народа, Осиновскій заводъ считался однимъ изъ самыхъ богатыхъ.

Со времени перваго Граблева, въ Осиновскомъ заводѣ былъ только одинъ Граблевъ, Корнилъ Петровичъ *). Онъ, выросши за границей и проживши тамъ много лѣтъ и много денегъ, вздумалъ посмотрѣть, что такое за Осиновскій заводъ? Откуда это ему шлютъ деньги сотнями тысячъ каждый годъ? И вотъ онъ поѣхалъ, взявъ съ собой иностранца, котораго онъ уполномочилъ быть управляющимъ. Пріѣхалъ онъ въ заводъ, встрѣтили его съ хлѣбомъ и солью, зазвонили въ колокола на церквахъ, собрался народъ на площади, прокричалъ ему привѣтствіе. Онъ отправился въ соборъ, гдѣ отслужили за его здравіе молебствіе. Выспавшись, онъ на другой день изволилъ принимать: заводскаго исправника, который назначенъ былъ горнымъ вѣдомствомъ для производства слѣдствій по осиновскому округу, членовъ главной конторы, главнаго повѣреннаго-ходатая по заводскимъ дѣламъ въ городахъ, приказчика, протоіерея соборнаго и горныхъ инженеровъ, служащихъ въ его округѣ отъ казны. У его дома между тѣмъ толпился народъ съ жалобами, но онъ не удостоилъ выйти къ нимъ. Только одна женщина какъ-то ворвалась къ нему съ жалобой. Онъ, удостоивъ ее разспросить въ чемъ дѣло, велѣлъ ей выдать десять рублей и приказалъ никого къ нему не допускать изъ *челяди*. Въ пять часовъ у него былъ обѣдъ, на который между прочимъ пріѣхали изъ горнаго города главныя лица, за обѣдомъ игралъ оркестръ изъ осиновскихъ музыкантовъ. На другой день онъ тоже давалъ балъ, на который съ улицы смотрѣла любопытная толпа, въ первый разъ увидѣвшая иллюминацію и фейерверкъ. На третій день онъ удостоилъ посѣтить фабрики, мелькомъ оглядѣлъ стѣны, машины и рабочій народъ, которымъ онъ велѣлъ выдать по рублю денегъ. Черезъ день онъ уѣхалъ.

Послѣ этого въ Осиновскомъ заводѣ не было ни одного владѣльца и только очень немногіе знаютъ даже въ настоящее время имя владѣльца, да что есть владѣлецъ, потому что въ день его именинъ работы останавливаютъ. Поэтому управляющіе и дѣлали, что хотѣли въ заводѣ, довѣряя съ своей стороны приказчикамъ, которые дѣлали съ рабочими все, что хотѣли, смѣняя при этомъ съ должностей и назначая на должности по своему усмотрѣнію.

Очень не мудрено, что Онисья Гавриловна за свою дерзость—безпокоить управляющаго, получила наказаніе. Она должна сперва сходить къ нарядчику; если онъ ничего не въ состояніи сдѣлать, подать жалобу заводскому исправнику. Но заводскій исправникъ конечно всего скорѣе долженъ былъ держать сторону управляющаго и приказчика, которые при всякомъ случаѣ могли ему замазать ротъ деньгами и черезъ которыхъ онъ могъ потерять мѣсто. Идти къ приказчику не стоитъ, потому что приказчикъ смотритъ на рабочаго, какъ на своего кучера, или еще хуже.

Отъ такихъ-то управленій рабочимъ приходилось переносить изъ года въ годъ много бѣдствій, на которыя не обращалось никѣмъ вниманія, ни даже заводскими исправниками, обязанными защищать рабочихъ, и рабочіе такъ свыклись съ своею долею, что ничего не ожидали лучшаго впереди. А если нельзя ожидать лучшаго впереди, развѣ можно желать еще худшаго?.. Бывали впрочемъ въ разное время и такіе случаи, что осиновцы во время голода хотѣли разворочать господскій домъ, но они не дѣлали этого потому, что пользы отъ этого мало; но за то всѣ они, несмотря на долголѣтнюю вражду старослободчанъ противъ запрудчанъ, постепенно утихавшую отъ сближеній, всѣ они, отъ пятилѣтняго ребенка до послѣдней минуты жизни ненавидѣли всякаго начальника и ни о комъ не отзывались, какъ о хорошемъ, добромъ человѣкѣ; у нихъ сложились свои печальныя пѣсни.

Въ настоящее время, кажется, подобнаго ничего нѣтъ.

ГЛАВА VII.

Токменцовъ дѣйствуетъ на другой день иначе.

Гаврила Иванычъ пробудился рано утромъ, а именно въ четыре часа. Было еще не совсѣмъ свѣтло, поэтому онъ лежалъ еще съ полчаса. Въ головѣ его бродили разныя мысли, которыя онъ не могъ привести въ порядокъ. Первое, что попало ему въ голову, это было: «экая эта дѣвка-то озорная, Осподь съ ней! А какъ, подумаешь, Гаврила сынъ Ивановъ, ты-то самъ какъ женился!.. А вѣдь лихо я женился. Мать моя Матрена была злющая-презлющая баба, не тѣмъ будь помянута... Ну, да про это и толковать не стоитъ, потому онѣ дуры, да и наша братія, тоже мое почтеніе, посвистываемъ имъ по рылу, потому онѣ не въ свое дѣло суются, ворчатъ, пьянъ напьешься въ компаніи, али съ горя, такъ вмѣсто того, штобы приласкать, гвалтъ поднимутъ... Ну, опять тоже иная баба за поясъ заткнетъ нашего брата. Вотъ хоть бы моя жена...»

На этомъ онъ остановился: ему представилось, что его жену дерутъ теперь, и обидно ему сдѣлалось за жену; мысли приняли другое направленіе: «вотъ теперь сына застегали... А какой онъ былъ послухмянный, толковый... Поколачивалъ я его! Жалко. Эко, Осподи, житье!.. Тоже вотъ теперь житье штейгеру, такъ вотъ житье! Ѣздитъ себѣ два раза въ сутки на работы, за нарядчикомъ смотритъ, да какъ мы робимъ, гдѣ што ловчѣе сдѣлать. А вѣдь небось и я бы сдѣлался штейгеромъ, такъ куда бы ему, за поясъ бы ткнулъ... Вѣдь не сдѣлаютъ... А славно бы было! И Олену бы я выдалъ не за чучу какую-нибудь, а теперь... поди ты. Э-эхъ-ма! Осподи, Осподи! коли бы деньги были, поставилъ бы я тебѣ рублевую свѣчу. Ужъ замолилъ бы я тебя!.. А то што, чѣмъ я пригоденъ, коли всего-то въ мѣсяцъ получаю рубль на ассигнаціи. Вотъ Назару Плотникову ловко: отецъ былъ управляющимъ, поди десяти-рублевыя свѣчи ставилъ, сынъ

---

*) Вымышлено.

тоже и дуракъ дуракомъ, а, смотри, нахапалъ денегъ, въ рудникахъ былъ на работѣ со мной, да попалъ въ мастера. Гляди, што онъ творитъ. Али Осподь ничего не видитъ, што творятъ приказчикъ, нарядчикъ, да этотъ Назарко. А поди-ко ты, Гаврилка Токменцовъ, къ этому самому Назарку, да обскажи ему объ его Илюшкѣ, такъ што будетъ? туда тебя угонятъ, что ужъ не знаю...». И Гаврила Иванычъ утеръ своею широкою ладонью глаза.

«А Олёнки жалко, право жалко: одна она у меня дѣвка, а жены нѣту-ка дома, не съ кѣмъ ладненько посовѣтоваться. Ну, што я, мужикъ, сдѣлаю тутъ? Ну, я ее побью, изругаю, што будетъ? Ну-ко, Гавря, скажи?.. А то и будетъ; я со двора, она со двора, а тамъ и пойдетъ писать, какъ Аниська Бабиха», и мысли Гаврила Иваныча были скверныя, все одна другой хуже: наконецъ онъ пришелъ къ тому выводу, что дочь нищенствуетъ, хвораетъ и въ этомъ виноватъ одинъ онъ, потому что онъ бѣденъ, и виноватъ кто-то другой на томъ основаніи, что онъ изъ этой бѣдности вылупиться не можетъ никакимъ манеромъ.

Въ такомъ настроеніи Гаврила Иванычъ сѣлъ на кровать и сталъ смотрѣть на дочь: лежитъ Елена на боку, подложивъ подъ щеку лѣвую руку, а правой обнявъ свою грудь, по лицу ползаютъ мухи и, испуганныя ея тяжелымъ дыханіемъ, изрѣдка взлетаютъ къ верху съ жужжаніемъ. Жалко стало отцу дочери, вздохнулъ онъ, всталъ и вышелъ на дворъ. Погода стояла все сырая и мокрая; дождя впрочемъ не шло, но Токменцовъ думалъ, что дождь еще не однѣ сутки будетъ идти. Лошадь, находившаяся въ стойлѣ, еще лежала, онъ не сталъ тревожить ее, а только положилъ въ корыто сѣна, сходилъ на озеро за водой, вылилъ четверть ведра въ корыто и смѣшалъ ее съ сѣномъ, положивъ въ мѣшечекъ овса. Потомъ онъ поскребъ немного въ стайкѣ, и наземъ склалъ въ кучу, находящуюся въ его огородѣ, гдѣ росли капуста, картофель, рѣпа, морковь и рѣдька, любимыя и необходимыя кушанья рабочаго человѣка. «Ишь вѣдь какой нонѣ урожай на это. А все Олёнка хлопотала... Ай да Олёнка, молодецъ»!.. И опять въ головѣ его появились нерадостныя мысли, такъ что онъ плюнулъ и ушелъ изъ огорода, черезъ дворъ, на улицу, неизвѣстно зачѣмъ. Изъ двухъ сосѣднихъ домовъ вышло четверо рабочихъ въ такихъ же нарядахъ, какъ и онъ ѣхалъ вчера, только у тѣхъ за кушаками на спинѣ были засунуты топоры съ топорищами кверху остріями, на плечахъ у двоихъ по лопатѣ желѣзной съ черенками, а у всѣхъ на спинахъ болтались мѣшочки съ хлѣбомъ и онучами.

— Здорово, дядя Гаврило.

— Здорово, братцы. На кученки!

— А ты чего?

— Ничего. Вчера пріѣхалъ.

— Куда у тя Онисья-то устерелѣшила (убѣжала)?

— Да Богъ знатъ.

— Э, братъ, молщи! Знамъ все: ты свисни, а мы смыслимъ.

— Молчите, братцы.

— Ну... Прощай, дядя Гаврило: въ другое время покалякаемъ.—Рабочіе ушли, Гаврила Иванычъ немного утѣшился. Его утѣшило то, что Онисья успѣла предупредить своихъ подругъ, которыя новозаводчанамъ не разболтаются, а мужчины, будь они хоть и новозаводчане, своего брата не выдадутъ, тѣмъ болѣе, что подобныя вещи говорятся непонятно для ребятъ—малолѣтокъ и подростковъ. Подошедши къ погребу, Гаврила Иванычъ увидалъ, что онъ запертъ; пошелъ въ клѣть, корова спитъ, овечки тоже всѣ цѣлы и при появленіи его встали, только корова, махнувши хвостомъ и лизнувши языкомъ лѣвый бокъ своей утробы, стала глядѣть на него тупо.

«Ну, спите, христовые!»,—и онъ, вышедши изъ стайки, вошелъ въ какой-то чуланчикъ около нея устроенный. Тамъ были куры. Сначала заклокталъ пѣтухъ, потомъ загоготали курицы. Вышелъ онъ и оттуда, и скучно ему сдѣлалось, такъ скучно, что словно у него не стало хозяйки. И сознавалъ онъ, что онъ рѣдко-рѣдко заглядывалъ въ клѣтушки, стайки и огородъ, а заходилъ теперь Богъ вѣсть почему.

«Эхъ, хозяйка, дай бы Богъ, штобы ты выходила. Вѣдь это все твое—только вѣдь у тебя и есть, а Ганька... задерутъ и ево...».

Чтобы развлечься, онъ принялся обдѣлывать дровни; опять полѣзли мысли нехорошія, и онъ рѣшилъ истопить баню. «Выпарюсь да вымоюсь, легче будетъ, а тамъ что Осподь Богъ дастъ»... думалъ онъ. Затопилъ онъ печку въ банѣ и сѣлъ у нея. Плохо горятъ сырыя дрова, кое-какъ онъ разжегъ ихъ: загорѣли славно. Страшно ему чего-то сдѣлалось, закурилъ онъ трубку и не сводилъ глазъ съ горящихъ дровъ. Представлялась его воображенію его первая любовь: «вотъ иду я по улицѣ, попалась на встрѣчу Ониська, красивая, толстая. Вмѣстѣ я съ ней въ ребятахъ игрывалъ. Цапнулъ я ее; взвизгнула моя дѣвка и убѣжала. Постой, думаю, задамъ я тебѣ острастку и ласку. Какъ-то иду съ работы, а она идетъ съ холстами на встрѣчу: здравствуешь, говорю, Онисьюшка?... Она дуракомъ меня обозвала и убѣжала. Такъ и стали мы съ ней встрѣчаться да баловать. Моя Онисья, вижу, поддается: выйду на улицу въ праздникъ и она тутъ, въ хороводахъ со мной играетъ и варнакомъ обзываетъ. Ну, я и говорю отцу: жениться хочу на Онисьѣ Харламовой. А захотѣлъ я крѣпко жениться, да и что въ самомъ дѣлѣ: хочу самъ хозяиномъ быть, дѣти будутъ, провіантъ пойдетъ. А отецъ артачится: рано, говоритъ, тебѣ, шельмецъ, жениться, побогаче сыщемъ, а у нея шишъ въ карманѣ, да грошъ на арканѣ. Ну, да сосѣди, спасибо, посовѣтовали ему. И женился Гаврилко, и изъ Гаврилки сдѣлался Гавриломъ Иванычемъ и прожилъ съ ней ужъ вонъ сколько, да ничего же. А тоже говорили про нее то и другое, и пято и десято...».

— Тятенька!—сказала робко Елена, появляясь въ дверяхъ у бани. А надо замѣтить, у здѣшней бани передбанника и крыши нѣтъ; въ нее входятъ прямо изъ огорода и въ ней раздѣваются.

— Будь ты проклятая! Экъ ее, испугала какъ!

Оленка была босикомъ, въ сарафанѣ, безъ платка на головѣ.

— Чего тебѣ?

— Печку-то топить, али нѣтъ?

— Неужли такъ: поди-ко-сь, жрать захочешь. Хлѣбъ-отъ есть?

— Двѣ ковриги...

— Ну, завтра испеки. На рудникъ надо...

Елена не шла. Она что-то хотѣла спросить у отца.

— Ну, чего еще стоишь?

— А мать-то гдѣ-ка?

— Не твое дѣло; пошла! Спроси у свово-то полюбовника.

Елена ушла. Токменцовъ немного погодя тоже вышелъ изъ бани, которая уже истопилась, и трубу печки которой онъ закрылъ. Ему сильно хотѣлось поговорить съ дочерью насчетъ ея любовника, но онъ не зналъ, какъ бы лучше выпытать отъ нея правду.

Корова была подоена и выпущена на улицу, овечки тоже выпущены, курамъ заданъ свѣжій кормъ. Въ избѣ печка затоплена, въ печкѣ стоитъ чугунка, въ которой варится картофель; въ другой чугункѣ варится свекла. На лавкѣ лежатъ опрокинутыми только-что вымытыя чашки, ложки, кринки; Елена моетъ столъ съ дресвой.

— Есь рубаха-то мнѣ-ка? — спросилъ Токменцовъ, войдя въ избу.

— Есь. Вчера выкатала.

— Ну, такъ добудь, и штаны добудь.

Елена полѣзла въ сундучекъ и вытащила оттуда рубаху и штаны. У Токменцова было только по парѣ рубахъ и штановъ.

— Ишь, выкормилъ, выпоилъ... и любовника нашла. Какъ нѣтъ дома отца и матери, и давай приглашать къ себѣ! Ну, скажи, гожее ли это дѣло, образина ты эдакая?

Елена принялась плакать.

— Што, небось неправду я говорю! Тебѣ все ничего, а мнѣ-то каково! Кто про васъ пропиталъ достаетъ? Кто вспоилъ, вскормилъ тебя? А? Развѣ мнѣ не больно?.. Ну, для кого я истязаюсь, какъ собака? Ты это подумала? Ну, какими теперича я глазами на людей-то буду смотрѣть? Ты-то, ты-то какъ въ люди покажешься? У!—и онъ выругался и плюнулъ.

— Ну, што ты ревешь-то, а? Олёнка!

— Тятенька...

— Говори всю правду!

Елена стала на колѣни передъ отцомъ:

— Тятенька, голубчикъ... сдѣлай, што хошь со мной, сизой ты мой, хоть убей ты меня...

— Да ты что турусы-то на колесахъ разводишь! Правду говори!

— Ей-Богу я не виновата. Вотъ ты отсохни правая нога.

— Зачѣмъ ты цаловалась съ нимъ?

— Онъ самъ цаловалъ.

Отецъ ударилъ ее по щекѣ, щека покраснѣла.

— Тятенька, голубчикъ...—и она поклонилась ему въ ноги.

— Говори: зачѣмъ ты его пустила?

— Самъ... онъ самъ...

Отецъ толкнулъ ее ногой.

— Пошла, штобы духу твоего не было.

Елена заревѣла, а Токменцовъ ушелъ злой во дворъ. Долго онъ ходилъ около лошади и долго его мучило поведеніе дочери. Но чѣмъ больше онъ думалъ, тѣмъ ему становилось какъ-будто легче. «Нѣтъ, она этого не сдѣлаетъ», думалъ онъ и ему совѣстно становилось, что онъ побилъ ее. Ганьку кое-какъ разбудили идти въ баню. Тамъ отецъ вымылъ Ганькины штаны и рубаху, а потомъ повѣсилъ ихъ сушить на шестъ, вдѣланный въ банѣ. Выпарившись, Гаврила Иванычъ пошелъ черезъ огородъ купаться въ озеро. Пока онъ шелъ, изъ другого огорода крикнула ему старушка:

— Баньку истопилъ!

— О-о!

— Пусти, какъ вымоешься.

— Съ Олёнкой сходи.

Выкупавшись, онъ тѣмъ же путемъ пришелъ въ баню и тамъ одѣлся. Такимъ же образомъ выкупался и Ганька.

— Олёна, поди-ко скажи Терентьевнѣ, што молъ готова баня-то.

— Я, тятенька, пойду же съ ней-то?

— Поди.

Гаврила Иванычъ очень былъ доволенъ баней: онъ легъ, потягивался, дремалъ и кажется ни о чемъ не думалъ. Ганька тоже былъ веселъ.

— Ись бы, тятька.

— А вотъ Олёнка будетъ.

— А ты ее, тятька, больно треснулъ. За што ты ее такъ-то?

— Не твое дѣло!

Сынъ замолчалъ.

Токменцову теперь не приходили невеселыя мысли. Онъ думалъ теперь о томъ, что ему нужно починить къ завтрему сапоги и лопоть (халатъ), да пожалуй взять сѣрый зипунъ на случай. Пришла Елена. Лицо у нея красное, волосы нечесанные. Стали обѣдать: сначала тертую рѣдьку съ картофелью развареннною и квасомъ; потомъ похлебали свеклу тоже съ квасомъ и картофелью. Токменцовъ съѣлъ три ломтя хлѣба, Елена и Ганька по два.

ГЛАВА VIII.

Какъ Токменцовы проводятъ остальное время дня.

Послѣ обѣда Токменцовы не легли спать. Гаврила Иванычъ сползалъ съ полати, досталъ онъ оттуда лапоть, въ которомъ хранились шила, ножикъ, дратва, щетина, нитки и прочія принадлежности, необходимыя для сапожнаго и башмачнаго ремесла.

— Олёна, принеси-ка корыто съ водой.

Елена ушла и скоро воротилась съ маленькимъ корытомъ,—въ немъ была вода.

— Да ты бы теплой налила. Въ первой што ли?— взъѣлся отецъ, сидя передъ лавкой на обрубкѣ дерева, разложивъ по лавкѣ инструменты и принимаясь чесать нитки для дратвы. Когда теплая вода, находившаяся въ печи въ чугункѣ, была налита, Гаврила Иванычъ положилъ туда кусокъ черствой, старой кожи, которая валялась у него съ тѣхъ поръ, какъ онъ нашелъ ее на дорогѣ. А Токменцовъ любитъ все подбирать: и подковы, и гвоздики, и желѣзки разныя, и худые башмаки, даже лапти, которыя

носятъ очень немногіе рабочіе осиновскаго завода, и даже никому не нужныя тряпки; онъ всему найдетъ мѣсто, потому что покупать новое ему не на что. Сапоги онъ шилъ самъ, башмаки женѣ тоже шилъ самъ изъ разныхъ голенищъ, которыя онъ или находилъ, или выпрашивалъ у зажиточныхъ сосѣдокъ. Холстъ у нихъ былъ свой, и теперь вонъ Елена вытащила изъ чулана корчагу, вымыла ее, налила въ нее воды, положила туда десятка два аршинъ изгребнаго самодѣльнаго холста, а потомъ еще налила горячей воды на холстъ и, засыпавши его золой вровень съ краями корчаги, вдвинула корчагу въ печь. Сермягу Токменцовъ покупаетъ у заводскихъ же жителей, а именно у Степана Мокрушева, который хорошо ее выдѣлываетъ, только не можетъ еще дойти до того, чтобы приготовлять тикъ на лѣтніе халаты мастеровымъ, какъ называютъ себя всѣ горнорабочіе и въ томъ числѣ Гаврила Иванычъ. Халатъ Гаврила Иванычъ надѣваетъ, когда холодно, и онъ, какъ и сермяга, большею частью на работѣ лежатъ безъ употребленія, потому что въ нихъ работать неудобно, да и зимой при работѣ ему въ рубахѣ тепло. Сталъ Гаврила Иванычъ починивать сапогъ, а Ганька залѣзъ на печку, но отецъ не далъ ему спать.

— Ганька! иди-ко подержи.

Ганька молчитъ.

— Тебѣ говорятъ?..

Ганька слѣзъ, не торопясь и почесываясь, подошелъ къ отцу, тотъ замахнулся на него рукой, но не ударилъ.

— Держи! Ишо въ банѣ былъ, а смотри, какъ рубаху отхалезилъ (отдѣлалъ).

— Мнѣ-ка спать охота!—произнесъ Ганька протяжно и зѣвнулъ громко во всю избу. Отецъ промолчалъ. И когда Ганька держалъ неправильно или лѣниво дратву или кожу, отецъ ругалъ его или замахивался на него рукой. Когда держать было нечего, Ганька пошелъ было на печь, но отецъ опять заставлялъ его что-нибудь дѣлать.

Пришелъ Колька, шустрый мальчикъ съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами, въ загрязненной рубахѣ и босой. На ногахъ много было грязи.

— Ахъ ты, гадъ ты поганый! Гдѣ ты это былъ?..—закричалъ на него отецъ.

— А у тетки былъ! Гли!—И Колька показалъ ему пискульку—сдѣланнаго изъ дерева пѣтушка.

— Гли, тятька, какъ свиститъ—и онъ началъ насвистывать въ пискульку, поскакивая и подергивая рубашонку.

— У, балбесъ. Поди, вымой парня-то въ банѣ,—сказалъ онъ Еленѣ, которая въ это время ставила на печку *квашню* (т. е. тѣсто ржаное въ деревянной шайкѣ, похожей на кадушку, вмѣщающую въ себѣ восемь и девять ковригъ печенаго хлѣба).

— Я не пойду, тятька, не пойду. Олёнка бука!

— Ганька, дай-ка плетку!

Колька остался этимъ недоволенъ, закуксился и, испугавшись угрозы отца, полѣзъ къ Еленѣ и покрылся ея фартукомъ.

— Олёнка! гли, какъ игрушка-то,—и онъ не давалъ ей покою съ своей пискулькой: пойдетъ она, онъ за ней и теребитъ ее за сарафанъ или передъ ней станетъ и давай пикать. Это пиканье вывело отца изъ терпѣнья.

— Ахъ ты, проклятой парень!—и онъ всталъ. Колька вмигъ спрятался подъ кровать, но отецъ все-таки пнулъ его ногой, отъ чего Колька заревѣлъ на всю избу и тогда только замолчалъ, когда отецъ погрозилъ ему плеткой. Опять Гаврила Иванычъ сѣлъ за работу, а Елена сѣла около него, стала починивать отцовскую сермягу съ кожанымъ воротникомъ и обшлагами у рукавовъ. Ганька тоже заштопывалъ материны башмаки.

Несмотря на то, что кожа не держала нитокъ, рвалась, Ганька ковырялъ башмакъ. Отецъ тоже ругался, что кожа на сапогѣ износилась. Онъ теперь кажется только о томъ и думалъ, какъ бы ему похитрѣе започинить; его бѣсило то, что дратва рвалась, кожа лопалась хуже, онъ плевалъ съ досады то на сапогъ, который починивалъ, то на полъ, то приговаривалъ разныя любимыя словца. Ганька вторилъ отцу, которому почему-то вдругъ не понравилось, что сынъ бездѣльничаетъ.

— Чево ты дратву-то рвешь попусту, шельмецъ ты экой.

— Я, тятька, чиню.

— Такъ чинятъ? Брось!

Ганька забился на полати и тамъ продолжалъ свою работу.

Только одна Елена сидѣла смирно. Она сидѣла на лавкѣ спиной къ отцу, около окна, и молча заштопывала прорѣхи и дыры сермяги. Ни одного звука она не произнесла, ни одной морщинки не было на ея лицѣ, только ей надоѣдали мухи, и тутъ она молча отмахивалась отъ нихъ. Колька ее не безпокоилъ: онъ нашелъ себѣ товарища въ котѣ, котораго онъ безцеремонно таскалъ по полу за хвостъ, любуясь своимъ искусствомъ и ловкостью отвертываться отъ лапъ кота, который пищалъ. Наконецъ котъ вырвался, вскочилъ на печку и сталъ облизываться, злобно глядя на Кольку, какъ будто думая: ужъ не буду же я, коли такъ, спать съ тобой. Онъ пошелъ по перекладинкѣ, сдѣланной отъ печки къ стѣнѣ для сушенья тряпокъ и бѣлья. Шелъ онъ, какъ видно, къ Еленѣ. Между тѣмъ Колька дѣлалъ свое дѣло: онъ вскарабкался на печь, нашелъ лучину, бросилъ ее съ хохотомъ въ кота, котъ соскочилъ на лавку, а Колька свернулся на полъ и заревѣлъ... Всѣ неторопясь встали и подошли къ Колькѣ, который расшибъ себѣ лѣвое колѣно до крови и лобъ, но неопасно. Отецъ заругался, сталъ искать плетку, но не нашелъ ея. Долго ревѣлъ Колька; ногу Елена обвернула тряпкой, на лбу остался большой синякъ и черезъ часъ Колька угомонился и попрежнему сталъ баловать, только прихрамывалъ на лѣвую ногу. Ему уже не въ первый разъ приходится падать съ печки.

Елена все работала, а въ головѣ ея шла своя работа. «Што-то Илья дѣлаетъ», думала она, и долго думала она на эту тему. Заслышитъ она брань отца на дратву или на мухъ и думается ей: «отчего это онъ такой злой! Хоть бы умѣлъ починивать-то! А тоже хвастается, што сапоги да башмаки умѣетъ мастюжить». Она старалась отыскать причины: почему

отецъ у нея такой злой? зачѣмъ онъ драчунъ такой? Придетъ съ работы, мать ругаетъ, весь день на ребятъ кричитъ, а ладомъ не скажетъ, на работу пойдетъ, тоже ругается... «Нѣтъ, онъ добрый. Иной бы выгналъ меня изъ дому, избилъ бы», и она тяжело вздохнула; въ это время она такъ любила отца, что скажи онъ ей: Олена, поди-ко сходи въ рудникъ за топоромъ — пошла бы. Она не думала теперь объ матери, какъ будто бы и не бывало ея.

— Ганька!—поди-ко къ Ѳедосѣеву, попроси табаку.

Ганька пошелъ, за нимъ поскакалъ и Колька подпрыгивая.

— Скоро свадьба-то, мила дочь?—спросилъ отецъ ядовито, когда мальчуганы ушли; голосъ его дрожалъ.

— Чья, тятенька?

— Чья? Твоя.

Елена промолчала.

— Что жъ, ну и ступай и не ходи сюда, штобы и праху твоего здѣсь не было. Что жъ ты буркалы-то въ окошко уставила? Али Илька идетъ?

Елена молчитъ: въ глазахъ двоится, въ головѣ жаръ. «Умереть бы ужъ!»—думалось ей невольно.

— Съ Богомъ, мила дочь, съ Богомъ, Олёнка.

«Буду же я молчать!»—думаетъ Елена и въ первый разъ въ жизни она осердилась на отца. Хотѣлось ей плакать, да слезы не шли.

— Что жъ ты спасибо-то не сказываешь, дура. Ты въ ноги должна мнѣ поклониться.—Отецъ, говоря это, улыбался, но какъ улыбался? Его душило горе, и онъ не умѣлъ выразиться какъ-нибудь такъ, чтобы дочь почувствовала всю гадость своего поступка. Жена его поступила бы иначе: она бы цѣлый день проворчала, прибила бы дочь, какъ умѣла, на другой день она бы не стала ругаться, а у Гаврилы Иваныча не было такой храбрости, да и охоты не было. «Бить такъ было бы за что бить, а то не стоитъ, еще грѣха наживешь».

— Олёнка! — вдругъ крикнулъ отецъ и сталъ глядѣть на спину дочери; въ лѣвой рукѣ былъ сапогъ съ шиломъ, а въ правой дратва съ щетиной. Елена молчитъ.

— Кому я говорю—стѣнѣ, што ли? А?!

Елена молча повернулась къ нему лицомъ. Она плакала.

— Послушай ты, дура набитая, дурака отца: што за дурь пришла въ голову?.. а?

Елена молчитъ, плачетъ.

— Тебѣ говорятъ! Я вышибу изъ тебя эти нюни-то. У-у!!—и онъ заскрежеталъ зубами.

— А вотъ тѣ сказъ! Плотникову я всѣ ноги обломаю, коли онъ еще сюда придетъ. Всѣмъ закажу то же сдѣлать. Слышишь!.. Не выдамъ я тебя за него замужъ... Тебѣ говорятъ!

— Тятенька! я ни за кого не пойду больше.

— Ладно. Слушай, мила дочка. Ты думаешь, я не знаю, што тебѣ хочется замужъ,—знаю. А Плотниковъ тебѣ не пара, потому приказей, а ты мастерская дочь. Да и Илькѣ отецъ не дозволитъ жениться на тебѣ, потому онъ мастеръ.

— Я ни за кого не пойду...

— Я тѣ говорю по отцовски, потому эти дѣла знаю. Илька дуритъ, это я и ему скажу, и всѣмъ скажу. Найдемъ жениха по своей братьи.

— Тятенька!

— Дура ты дѣвка. Мнѣ што ли не обидно это, да дѣло-то такое... такое, што Илька на тебѣ не женится. Вотъ што обидно-то; и я этова не желаю, потому не хочу родниться съ подлыми людьми. И выброси ты эту дурь изъ головы. Да развѣ мало нашева-то брата. Э!..

Онъ принялся за работу, дочь повернулась къ нему спиной и тоже задумалась. Долго она думала; передумывала отцовскія слова и казалось ей, что отецъ говоритъ правду; а если онъ ей зла желаетъ... Нѣтъ, Илья не такой: онъ не пришелъ бы къ ней въ избу, не цѣловалъ бы.

— Слышь, подхалюза, подико-сь запряги лошадь,—сказалъ отецъ дочери. Она ушла во дворъ.

«Съ дѣвками имѣть дѣло—просто бѣда, особливо съ дочерьми. Дѣвка што—извѣстное дѣло, мужика ей надо, съ жиру бѣсится, и мужику дѣвку надо, а дочь жалко. Ну, роди она, што съ ней будетъ? эти же скоты проходу ей не дадутъ, а я-то тутъ чѣмъ виноватъ? Добро бы провьянтъ на ребенка давали,—нѣтъ. Вонъ ей минулъ восемнадцатый годъ и провьянтъ прекратили—выдавай, значитъ, замужъ... А ужъ за Плотникова не выдамъ. Сказано: не хочу родней имѣть мастера-подлеца, и конецъ; сроднись съ подлецами да мошенниками, самъ будешь подлецъ и мошенникъ. Вотъ что! А дѣвка што—дура. Ей понравился приказный, мастерской сынокъ и взбѣленилась. Экое диво стряслось: какъ не идти замужъ. А потомъ што будетъ: мужъ попрекать мной станетъ, на порогъ меня не будетъ пущать, да и какое будетъ ей житье, коли свекоръ будетъ заставлять сапоги ему надѣвать... А то бы мнѣ што: вѣсится онъ тѣ на шею, дуракъ эдакой, да ты знашь, што онъ разумной человѣкъ, ну и съ Богомъ, коли по любви, по совѣту, да нами не брезгуетъ... Это такъ».

Пришли Ганька и Колька. Отецъ распекъ ихъ за то, что они бѣгали долго. Пришла Елена и объявила, что лошадь запряжена. Гаврила Иванычъ одѣлся; надѣлъ сперва сапоги, обернувъ предварительно ноги онучами, потомъ сермягу, опоясался кушакомъ, за пазуху положилъ кисетъ съ махоркой, кремнемъ, плашкой и трутомъ и взялъ шапку.

— Ты скоро?—спросила его Елена.

— Скоро. Кто будетъ, скажи — скоро. — Онъ ушелъ. Немного погодя заскрипѣли ворота и отецъ уѣхалъ. Домашніе не знали, куда онъ уѣхалъ, да онъ и не любилъ даже женѣ сказывать объ этомъ.

Дома начался безпорядокъ. Колька лѣзъ то къ Еленѣ, то къ брату съ пискулькой, и такъ себѣ, желая побаловать; никакіе уговоры на него не дѣйствовали отъ колотушекъ, получаемыхъ имъ отъ брата, онъ хотя и плакалъ, но самъ потомъ начиналъ ругаться и колотить рученками, что въ немъ изобличало будущаго рабочаго человѣка со всѣми

*

наклонностями, врожденными и уже усвоенными отъ другихъ ребятъ. Да и что ему, мальчугану, было дѣлать: ему хотѣлось играть, а ребятъ однихъ съ нимъ лѣтъ въ избѣ не было. Ганька уже отвыкъ отъ такихъ игръ: ему хочется бороться, играть въ бабки, ходить на головѣ, какъ ходятъ фокусники, которые нынѣшняго лѣта казали свою премудрость въ заводскомъ саду. Ему было скучно, но идти ему не хотѣлось, потому что онъ еще не былъ здоровъ; разговаривать съ сестрой... но что онъ будетъ ей разсказывать и о чемъ ему говорить съ ней; да онъ не то, что не любилъ сестру, но относился къ ней, какъ къ постороннему человѣку, только живущему вмѣстѣ съ нимъ въ одномъ домѣ. Онъ такъ еще былъ мало развитъ, что плохо понималъ родственную связь. Онъ только зналъ отца, мать и тетку; первыхъ онъ боялся, потому что они его и били, и кормили, вторая его ласкала и давала гостинцевъ къ праздникамъ; сестру же колотили такъ же, какъ и его, а мать даже обращалась съ ней строже, чѣмъ съ сыновьями. Поэтому онъ обращался съ ней безцеремонно, какъ будто считая ее ниже себя.

— Олёнка! дай ись.

— Подожди, отецъ будетъ.

— Што мнѣ отецъ, я самъ молодецъ. Дай.

— Тебѣ говорятъ, подожди: хлѣба-то и такъ мало.

— Молока дай.

Не дождавшись отвѣта, Ганька сходилъ въ чуланъ и принесъ оттуда ковригу хлѣба. Сестра только поглядѣла и ничего не сказала. Сталъ приставать къ ней Ганька, чтобы она принесла молока, но она долго не несла, а потомъ, сжалившись, принесла кринку съ молокомъ. Два брата живо опростали кринку. Елена знала, что на просторѣ они сытнѣе наѣдятся, и тоже сама выпила молока.

— Олёна, давай въ карты!—сказалъ Ганька.

— Въ карты, Олёнка!

— Отстаньте, ишь отцу халатъ чиню.

— Послѣ починишь. Ишь какая... Давай,—приставалъ Ганька.

И ребята, не дождавшись картъ, ушли изъ избы.

Елена осталась одна и стала думать на просторѣ о всемъ, что съ ней происходило за эти сутки. Совѣтъ отца приводилъ ее къ тому заключенію, что Илья Назарычъ дѣйствительно можетъ бросить ее на томъ основаніи, что онъ еще недавно съ ней познакомился, да и между ними ничего не было особеннаго. Что тутъ особеннаго, что онъ приходилъ къ ней безъ отца? Вѣдь къ ея подругѣ ходятъ же молодые парни; вѣдь и къ матери ея и къ ней, когда кромѣ нея никого нѣтъ дома, тоже приходятъ мужчины за чѣмъ-нибудь. Ну, и Илья Назарычъ приходилъ за дѣломъ... Но она не могла покривить совѣстью передъ отцомъ, а высказала ему, какъ умѣла, все, что она чувствовала. Зачѣмъ же это онъ сердится и что онъ тутъ находитъ дурного? Онъ говоритъ, что его отецъ мошенникъ. Ну, а ей-то какое до этого дѣло, вѣдь ей нравится не отецъ, а сынъ. Плохо она поняла смыслъ словъ отца, они ей казались какими-то обманчивыми, зложелательными. Но вдругъ ей пришло въ голову: «а вѣдь я его мало знаю, Онъ, говоритъ, видѣлъ меня два раза до вечерки, а я не видала. Я на вечеркѣ познакомилась съ нимъ... Да мало ли я тамъ видѣла парней и въ сертукахъ, и въ халатахъ, и въ рубахахъ; потомъ онъ въ саду далъ мнѣ орѣшковъ...» и ей стыдно сдѣлалось: ей даже котъ сѣрко показался какимъ-то сердитымъ, хотя онъ и глядѣлъ умильно на ползущаго по косяку таракана, котораго ему было лѣнь поймать... Еще стыднѣе и совѣстнѣе ей сдѣлалось, когда ей показалось, что ей не нужно бы было сидѣть у окна и вчера приглашать его къ себѣ. «Экая я дура въ самомъ-то дѣлѣ! думала она. Вѣдь онъ мнѣ совсѣмъ чужой, да онъ и не нашъ». Елена Гавриловна не очень любила запрудскихъ жителей на томъ основаніи, что она привыкла къ простотѣ, а тамъ у разныхъ должностныхъ людей она видѣла все новые порядки, которые и осмѣивала вмѣстѣ со старослободскими дѣвицами. «Ну, какъ же это я не сообразила, што онъ чужой, да и не нашъ, и какъ это онъ смѣлъ сюда зайти».

Но чѣмъ дольше она думала, тѣмъ становилось ей грустнѣе, мысли стали склоняться въ пользу Ильи Назарыча; ей стало жалко, что онъ не знаетъ теперь, что съ ней дѣлается, хотѣлось увидать его, разспросить, хорошій ли онъ человѣкъ. «Какъ увижу его, непремѣнно спрошу: пьете вы водку? Коли не пьетъ, пойду за него замужъ, не буянитъ—пойду; будетъ все такой ласковый—пойду. Нѣтъ, я у людей про него разспрошу: можетъ онъ это и вправду вретъ». И она рѣшилась какъ-нибудь исполнить свое намѣреніе. А жить въ родительскомъ дому ей ужасно опротивѣло: одной скучно; хотя за работой она и поетъ пѣсни для того, чтобы ей не думалось, и тутъ все-таки лѣзутъ мысли и не весело; придетъ мать: это не ладно, то не такъ, и пошла ворчать, при отцѣ немного получше, но за то тошно смотрѣть и слушать, какъ родители грызутся между собой и ровно не ссорятся они, да все у нихъ брань. Придутъ ребята, крикъ, а отъ этого Кольки и покою нѣтъ и ничѣмъ его не уговоришь... «И вездѣ-то Господи такая идетъ жизнь. Развѣ вотъ съ Илинькой будетъ спокой. Говорятъ же дѣвушки, что только и радостей у насъ, что замужъ выходить».

Часу въ шестомъ Елена уже совсѣмъ управилась: она подоила корову, загнала ее и овечекъ, куда слѣдуетъ, управилась съ курицами, спустила изъ сарая сѣна, задала корму животнымъ, приладила, что нужно, въ погребѣ, хотѣла было сходить въ баню за косоплеткой, но побоялась, посмотрѣла квашню, вымыла, что нужно, поставила въ печь свеклу и принесла ужинъ для семьи: положила на столъ завернутую въ изгребную скатерть ржаную полъ-ковригу, ножикъ, вилки (вилки Гаврила Иванычъ получилъ за желѣзо изъ кузницы, ихъ у него было всего только двѣ), деревянныя ложки. Въ сѣняхъ стояла кринка утренняго молока. Набѣгавшись до устали, нахлопотавшись вдоволь, Елена Гавриловна не жаловалась однако, что она устала и измучилась. Она только, сѣвши за починку отцовскаго халата, снова сказала: «охъ, завтра рано вставать-то надо. Какъ бы отецъ-то да пришелъ скоренько. Чево онъ тамъ»...

ГЛАВА IX.

Артамоновъ.

Въ избу вошелъ полицейскій служитель Артамоновъ. Этотъ человѣкъ считался за мастерового, но служилъ при полиціи и замѣнялъ въ заводѣ своею особою и казака, и квартальнаго надзирателя, потому что надзирателей не было въ полиціи собственно для завода, а былъ что-то въ родѣ полицеймейстера. Артамонова всѣ называли полицейскимъ и боялись его, какъ язвы, потому что онъ изъ своихъ интересовъ обиралъ рабочихъ, былъ хорошій мошенникъ и сыщикъ, надувалъ начальство и въ то же время угождалъ ему. Такъ какъ онъ наживалъ въ сутки рубля по три, то и жилъ довольно хорошо, имѣя полукаменный домъ, пару лошадей и три туго набитые сундука съ разными вещами, принадлежащими его семейству.

Онъ еще вчера приходилъ къ Еленѣ, спрашивалъ, дома ли ея отецъ, и потрепалъ ее по щекѣ, но она обозвала его варнакомъ.

— Здорово, Елена Гавриловна!—сказалъ онъ, войдя въ избу.

— Здравствуй.

Елена его ненавидѣла, во-первыхъ, потому, что онъ былъ скверный человѣкъ, во-вторыхъ, его физіономія была отталкивающая. Хорошо она помнила, какъ въ прошломъ году отецъ по его милости просидѣлъ въ полиціи за то, что не далъ ему рубля денегъ. А случилось это очень просто: отецъ везъ домой пару бревенъ, да попался навстрѣчу Артамонову, тотъ и приказалъ ему ѣхать въ полицію, потому-де что Токменцовъ безъ дозволенія лѣсъ рубитъ.

— Гдѣ Токменцовъ?—спросилъ онъ грубо.

— Нѣту-ка.

— Тебя толкомъ спрашиваютъ: пріѣхалъ онъ или нѣтъ?

— Ты не кричи, я вѣдь не отецъ — не боюсь тебя.

— Што ты!

Елена промолчала.

— Да знаешь ли, што я могу съ тобой сдѣлать?

Елена подумала: «свяжись съ дуракомъ, и сама не рада будешь». Артамоновъ подсѣлъ къ ней.

— Елена Гавриловна, ты чего на меня-то сердишься, дура ты эдакая?—и онъ ущипнулъ ее за ухо.

— Отвяжись, подлецъ!—и она перешла на другое мѣсто.

— Такъ я подлецъ?

— Подлецъ какъ есть! только подойди—тресну полѣномъ.

— Экая храбрая ты сдѣлалась! Давно ли такая податливая была!

— Ты, коли за дѣломъ пришелъ, говори дѣло, а не прималыдывай (т. е. не говори вздоръ).

— Я къ тебѣ по дѣлу пришелъ; хошь, отецъ твой будетъ казакомъ?

— Вотъ ужъ!

— Право: Емельяновъ захворалъ, вотъ и мѣсто, стоитъ только колесы подмазать.

— Спроси его, чего ко мнѣ-то суешься съ поганымъ рыломъ?

— Ты слушай: это все отъ тебя зависитъ.

— Ой-еченьки, какое слово сказалъ! какъ это такъ?

— А такъ.

И онъ подошелъ къ ней и вмигъ обнялъ ее, Елена хотѣла оттолкнуть его, но не могла совладать съ дюжиннымъ мужчиной. Артамоновъ ее цѣловалъ. Елена кое-какъ вырвалась, но онъ опять схватилъ ее...

Когда она пришла въ чувство, то Артамонова въ избѣ уже не было. Она ничего не понимала, что съ ней дѣлалось...

— Варнакъ! подлецъ! душегубъ!—кричала она. Сѣла она на лавку и давай плакать. Но слезами горю не поможешь.

— Господи!—вскрикнула она и стала на колѣни, сильно рыдая.—Господи!—и сколько горя слышалось въ ея словахъ.—Зачѣмъ ты попускаешь такія напасти? Пропащая я теперь. Порази ты его, Царица небесная! Порази ты его, Илья пророкъ, громомъ и молніею...—Больше она ничего не могла придумать. Въ такомъ положеніи ее застала сосѣдка Ѳедосья Андреевна, пожилая женщина.

— Чтой-то съ тобой, дѣвонька?

ГЛАВА X.

Положеніе Елены.

... Въ старой слободѣ заговорили.

И заговорили объ такомъ предметѣ различно, кто какъ смыслилъ.

Первой вѣстовщицей была Ѳедосья Андреевна Печенкина, сосѣдка Токменцовыхъ, подруга Онисьѣ Кириловнѣ, по-заводски *пивная бочка*, потому что она варила и продавала старозаводчанамъ пиво и слыла за бойкую и умную бабу, выручавшую не одного человѣка изъ бѣды, такъ какъ она была подруга письмоводительской кухаркѣ.

Отъ нея пошли суды и пересуды въ каждомъ домѣ старой слободы. Женщины говорили: «экое наказанье! Экая Олёнка несчастная», и въ то же время прибавляли: «самъ плохъ, такъ не подастъ Богъ». Дѣвицы охали и боялись пройти мимо Токменцова дома, точно въ немъ черти сидятъ. Однимъ словомъ женскій полъ былъ противъ Елены: Елену стали перебирать и нашли въ ней много худого, несмотря на то, что до сихъ поръ Елену любили всѣ, какъ хорошую знакомую. Однѣ говорили, что Елена гульная дѣвка: Елена и раньше, въ отсутствіе матери и отца, приглашала мужчинъ съ запрудской стороны, чему ее научила Печенкина, жившая съ однимъ рабочимъ-старослободчаниномъ, и въ настоящемъ случаѣ прикинувшаяся святошей... Другія говорили, что Елена давно познакомилась съ Плотниковымъ и Артамоновымъ. Словомъ, Елену считали за самую скверную дѣвку и въ самомъ домѣ Токменцова видѣли какую-то язву. Мужчины, слушая бабъ, разсуждали иначе, потому что подобныя дѣла имъ были не въ диковину... Мужчины, какъ мужчины, относились къ этому такъ себѣ, и на разсужденіе бабъ говорили: «стóитъ объ чемъ толковать!..»

— Да вѣдь послѣ этого ни одинъ парень не возьметъ ее замужъ!—возражали мужьямъ жены.

— Все-таки не стòитъ говорить.

Мужчины объ этомъ происшествіи не любили разговаривать еще потому, что они и сами не были цѣломудренны, когда работали въ лѣсахъ и въ рудникахъ подолгу, но, надо отдать имъ честь, они говорили:

— Этому Артамонову нужно хорошую баню задать, потому зачѣмъ онъ такое дѣло сдѣлалъ, зачѣмъ Токменцова обидѣлъ. Разѣ можно съ нами обращаться, какъ съ собаками?

Такъ прошелъ вечеръ, и молва объ Еленѣ начала проходить утромъ въ запрудскую сторону, но до Ильи Назарыча не дошла, потому что у него на старой слободѣ жила глухая тетка Коропаткина, а писцы главной квартиры объ этомъ происшествіи еще не знали.

Гаврила Иванычъ, возвращаясь домой, услыхалъ эту новость отъ одной женщины—и ему этого было достаточно, чтобы придраться къ дочери. Но такое дѣло было сверхъ его предположеній, потому что онъ свято уважалъ законный бракъ, и какъ бы онъ ни былъ золъ на жену, онъ никогда бы не рѣшился завести шашни. Женщина ему сказала: «какое съ твоей-то Олёнкой несчастье стряслось...». А Гаврила Иванычъ думалъ: «коли Плотниковъ ее цаловалъ, такъ ужъ што...». И на другой день онъ выстегалъ Елену въ банѣ, несмотря ни на какіе резоны дочери и просьбы Ѳедосьи Андреевны Печенкиной.

Ѳедосья Андреевна была добрая женщина. Она стала спрашивать женщинъ, что дѣлать Еленѣ въ подобномъ случаѣ. Тѣ ничего не посовѣтовали ей хорошаго; мужчины говорили: «надо подать прошеніе исправнику, только вотъ Елену съ Плотниковымъ видали. А можетъ быть Плотниковъ и выхлопочетъ то, что Артамонова въ острогъ посадятъ, потому что его сестра замужемъ за исправницкимъ письмоводителемъ».

Первымъ долгомъ Печенкина отправилась къ кухаркѣ письмоводителя, которой она принесла буракъ пива, но письмоводителя дома не было: онъ вмѣстѣ съ исправникомъ уѣхалъ въ слѣдствіе. Кухаркѣ Печенкина не сказала, зачѣмъ ей нужно письмоводителя. На другой день послѣ этого она рѣшилась идти съ Еленой къ управляющему—искать защиты, но удачи и тутъ не было.

Защиты искать было не отъ кого Еленѣ. Положеніе ея было очень скверное: въ старой слободѣ всѣ про нее говорили. Выйдетъ она изъ дома—и стыдно ей на дома глядѣть, а если она взглянетъ, то въ окнѣ увидитъ непремѣнно кого-нибудь: мальчикъ или дѣвушка ползаетъ на окнѣ—ей кажется, что это большой, глядитъ ли въ окно дѣвушка—ей кажется, что она глядитъ для того, чтобы поглядѣть на нее, на Елену...

Прошелъ день послѣ отъѣзда отца. Дома страшно. И думаетъ Елена Гавриловна, отчего ей страшно. «Вѣдь вотъ и не придетъ Илья. Я бы посовѣтовалась съ нимъ. Я бы ему много сказала...». А что бы она сказала, она и въ толкъ не возьметъ. И хочется ей, чтобы пришелъ Илья Назарычъ, и опять думается ей: «грѣшно».

«Подлый этотъ народъ запрудскіе!»—думаетъ Елена, но Илья Назарычъ ей милѣе всѣхъ.

«Убѣгу я отсюда... Здѣсь нельзя мнѣ жить; всѣ меня ѣдятъ». Но опять ей думается: «нѣтъ ужъ! Такіе случаи не бывали въ заводѣ», и она называла себя дурой за то, что ей пришла въ голову такая мысль. Но эта мысль съ каждымъ часомъ мучила ее.

Днемъ еще не такъ она мучилась: она работала; вечеромъ она была свободна, а въ это время сосѣди сидѣли на улицѣ и, наслаждаясь чистымъ воздухомъ, толковали о разныхъ разностяхъ. Еленѣ хочется выйти на улицу; Елену зовутъ на улицу дѣвушки, а какъ она выйдетъ, когда про нее говорятъ всякую всячину?

Слушаетъ, слушаетъ ихъ Елена, да услышитъ свое имя и скажетъ: «а виновата ли я-то?.. Сами-то вы какъ живете?..».

ГЛАВА XI.

Елена ходитъ по грибы и по малину.

На четвертый день послѣ отъѣзда Гаврилы Иваныча на рудникъ пришла къ Еленѣ тетка ея Степанида Ивановна Шарабошина.

— Ну что, Елена, говорила тебѣ Матрена Егоровна о чемъ-нибудь?

— Она, тетушка, говорила, не поѣдешь ли ты на покосъ?

— Какъ не ѣхать, завтра чѣмъ свѣтъ ѣхать надо. Ну, а еще-то ничего не говорила?

— Нѣтъ, ничего.

— Ой, врешь?

— Ей-Богу, тетушка, ничего.

— А я тебѣ скажу, что она хочетъ Макара женить.

— Такъ мнѣ-то што?

— А она больно на тебя зарится, да и Макаръ-то тоже.

— Вотъ ужъ пьяница!

— Кто нынче не пьетъ, Елена! На што мы, бабы, и то пьемъ. А Макаръ—парень работящій. Смотри, онъ всю семью кормитъ.

— Такъ ты не сосватала ли меня?

— А хоть бы и такъ. Ужъ я и брату говорила,—согласье далъ.

— Ой, тетушка! я ни за што не пойду за Макара замужъ.

— Это отчего такъ? Али ты захотѣла потаскушей сдѣлаться,—а?

Елена заплакала.

— Смотри, дѣвка, не серди меня! Ты знай, что кромѣ меня тебѣ никто добра не пожелаетъ.

— Вотъ ужъ пожелала: за экова пьяницу сватаетъ.

— Давно ли ты такая разборчивая сдѣлалась? Да ты то разсуди, безрогая ты скотина, што за тебя послѣ экова грѣха никто не станетъ свататься. Право слово... Ну, кто тебя возьметъ?

— И не надо.

— Мало тебя отецъ-то полысалъ.

— И ты на меня! Хоть бы ты-то меня не грызла... Поди-ко легко мнѣ, экое счастье!

Степанида Ивановна поворчала немного и послала Елену на рынокъ за солодомъ.

Идти на рынокъ приходилось мимо главной конторы. Только что она поравнялась съ которой, какъ изъ нея и выходитъ Илья Назарычъ. Сердце дрогнуло у Елены. Она пошла скорѣе, смотря въ другую сторону.

— Елена Гавриловна! — окликнулъ ее Илья Назарычъ.

Елена идетъ своимъ чередомъ не оглядываясь.

— Елена Гавриловна!

— Чево вамъ? — оглянувшись сказала Елена и стала.

Плотниковъ подошелъ къ ней, поклонился и подалъ ей руку. Она молча спрятала свою руку.

— Что съ вами сдѣлалось? — И онъ взялъ ея правую руку, сжалъ крѣпко.

— Ничего... Пустите!

— Позвольте, я васъ провожу!

— Ой! што вы!

— А батька дома?

— Уѣхалъ на рудникъ и она вздохнувши, задумалась.

— Вотъ што: пойдемте завтра по грибы.

— Съ вами-то?—Она пошла, рядомъ съ ней шелъ и Плотниковъ.

— Что же такое? Я не съѣмъ: вамъ веселѣе будетъ; поговоримъ...

— Ой, какъ можно!

— Да вѣдь ходятъ же по грибы съ чужими людьми. Мы не заблудимся; я всѣ мѣста знаю.

— Нельзя, Илья Назарычъ: тетка на покосъ зоветъ.

— На покосъ успѣете: завтра суббота, завтра сходимъ, потомъ въ воскресенье сходимъ.

— Не знаю.

Елена задумалась. Ей хотѣлось сказать Ильѣ Назарычу, что ее хотятъ выдать замужъ за Чуркина, да она побоялась сказать.

— Такъ придете?

— Ой, не говорите!

Шли молча до рынка. Тамъ Елена купила солоду, а Плотниковъ поджидалъ ее у рыночныхъ вѣсовъ.

— До свиданья, Елена Гавриловна! — сказалъ Плотниковъ, когда Елена пошла домой.

— Прощайте!

— Такъ придете завтра?

— Куда опять?

— Да къ мостику.

— Да какъ я приду-то? тетка прогонитъ на покосъ.

— Ну, я-таки буду дожидаться до девяти часовъ.

— А почемъ я эти часы-то знаю!

Елена Гавриловна шла уже по плотинѣ. И обидно ей сдѣлалось, что она ничего хорошаго не поговорила съ Ильей Назарычемъ, не посовѣтовалась съ нимъ. Что и говорить она не умѣетъ, а онъ вишь ты, какъ говоритъ, какъ по писанному. Она по грибы очень любила ходить, только въ нынѣшнее лѣто очень немногіе ходили по грибы, потому во-первыхъ, что грибовъ еще мало, а во-вторыхъ, погода стояла ненастная. Теперь погода стояла хорошая, такъ опять чортъ сунулъ тетку на покосъ ѣхать! Все-таки любовь брала свое: ей сильно хотѣлось идти по грибы съ нимъ, а не съ кѣмъ-нибудь другимъ, и ему высказать все, что съ ней сдѣлалось, спросить у него совѣта... «Господи помоги ты мнѣ!.. Матушка, тетушка, отпусти ты меня по грибы завтра, а на покосъ я въ воскресенье пойду съ тобой... Матушка, тетушка, какъ я изъ дома уйду? пусть Ганька ужъ ѣдетъ, а то отецъ пришлетъ за хлѣбомъ, а насъ и нѣту-ка дома-то». Такъ думая, она пришла домой, а оттуда пошла къ Степанидѣ Ивановнѣ.

— Смотри, Елена, завтра раньше вставай. Къ обѣду надо на покосѣ быть.

— Тетушка!

— Чего еще?

— Елена замялась.

— Возьми ты Ганьку, а то неравно отецъ съ рудника за хлѣбомъ пошлетъ.

— Не дури. Поди, спи.

Елена ушла и думала: какую бы ей такую штуку сдѣлать, чтобы завтра не ѣхать на покосъ. Но ничего не выдумала и засыпая она думала: «вотъ какая я злосчастная! Ни въ чемъ-то мнѣ нѣтъ счастья... Охъ, ужъ эти родные!..». Однако утромъ она стала выдумывать. «Вотъ я возьму корову запру въ огородъ, да и скажу — потерялась корова. Но вѣдь корова пожалуй всю капусту съѣстъ; выгнать ее въ поле—придется гнать мимо теткинаго дому». Вдругъ ей пришла мысль загнать ее въ погребъ. «А если тетка вздумаетъ зачѣмъ-нибудь идти въ погребъ? Скажу — ключъ потеряла». Итакъ подоивши корову и взявши оттуда литовку, двѣ кринки молока, двѣ ковриги хлѣба, закрывши яму крышкой, убравши хрупкія вещи, она загнала туда корову и заперла погребъ. Только что она успѣла это сдѣлать, какъ къ воротамъ подъѣхала телѣга, запряженная въ сѣрую лошадь. Въ телѣгѣ сидѣла Степанида Ивановна съ сыномъ Андреемъ. Въ это время корова замычала въ погребѣ.

«Ахъ ты, проклятущая!», подумала Елена и выбѣжала на улицу. Въ телѣгѣ лежали двѣ литовки, въ которыя были вдернуты по двухаршинному черенку (палка).

— Тетушка, корова потерялась.

— Што ты врешь?

— Ей-Богу. Искать побѣжала. Вчера, какъ отъ тебя пришла, подоила, заперла въ стайкѣ, а сегодня нѣту-ка, и ворота что есть растворены.

— Оказія! Да ты искала ли?

— Вездѣ высмотрѣла: и въ огородѣ, и у сосѣдей. На поле хочу сбѣгать.

— Ну, чево ино ждать-то!—крикнулъ Андрей матери.

— Молчи! Подожди ино, я парней разбужу.

И Степанида Ивановна слѣзла съ телѣги, пошла во дворъ, поглядѣла кругомъ, заглянула въ огородъ—коровы нѣтъ, и пошла въ избу будить ребятъ.

— Я, тетушка, совсѣмъ собралась, и литовку съ

вечера приготовила. Думаю, стряпать нечего, подою корову, соберусь и готова. Эдакая напасть! Надо бы скорѣе искать корову-то.

Николай и Гаврило кое-какъ расклемались, нехотя одѣлись кое-какъ и почти полусонные сѣли въ телѣгу. Когда Елена провожала тетку, корова опять замычала.

— Штой-то ровно ваша коровенка-то? — замѣтила Степанида Ивановна и стала вслушиваться, но корова перестала мычать и скоро Степанида Ивановна сѣла въ телѣгу. Тронулись.

— Такъ ты смотри, Елена, завтра приходи непремѣнно.

— Ладно, тетушка.

«Слава тѣ, Господи! Экая я счастливая», думала Елена, какъ только поѣхала Степанида Ивановна съ Андреемъ, Гавриломъ и Николаемъ. Былъ еще шестой часъ утра.

Елена очень трусила того, чтобы тетка ея по какому-нибудь случаю не воротилась назадъ, и поэтому медлила выпускать корову изъ засады. Ей не было дѣла до того, что коровѣ холодно въ погребѣ, она только объ томъ думала, какъ бы ей скорѣй уйти къ мостику, а какъ только она уйдетъ туда, такъ тогда ее хоть цѣлый день ищи, если только не догадаются, куда она ушла. О томъ, что тетка можетъ раздумать ѣхать на покосъ и отъ Чуркиной воротится назадъ, она теперь не думала. Раза четыре она выходила за ворота и смотрѣла, не ѣдетъ ли тетка домой, въ пятый разъ сходила въ переулокъ, посмотрѣла на плотину и удостовѣрившись, что тетка уѣхала, она выпустила мычащую корову изъ погреба, загнала ее въ стойку и дала ей двѣ порціи корму. Потомъ, мучимая страхомъ, что тетка воротится, она надѣла на босыя ноги ботинки, на голову платокъ и выскочила на улицу. Но она забыла набируху и воротилась назадъ. Положила она въ набируху ножикъ, два ломтя ржаного хлѣба, на которые посыпала она соли; заперла сѣни на замокъ и пошла крадучись, боясь, чтобы ее не встрѣтили сосѣдки. Но избѣжать встрѣчи было трудно: ей попадались мужчины, шедшіе домой изъ фабрикъ; они ничего не говорили съ ней. Попалась ей старуха, погоняющая свою корову, и спросила ее:

— Куда, дѣвоха, покатила?

— Корову пошла искать.

— А набируха-то пошто у те?

— А можетъ грибъ найду.

Вотъ прошла она плотину, завернула къ фабрикамъ. Шла она бойко, сначала все оглядывалась, потомъ вздохнула свободнѣе и пошла тише, зная, что до мостика всего полверсты осталось. Попадались ей рабочіе конные и пѣшіе, возвращавшіеся домой изъ Петровскаго рудника. Одинъ изъ нихъ былъ знакомый Еленѣ.

— Куда ты?

— По грузди.

— Гоже.

— Отца видѣлъ?

— Нѣтъ не видалъ. Елена струсила, но все-таки шла краемъ лѣса.

Вотъ она и у мостика, перекинутаго черезъ логъ, гдѣ течетъ изъ лѣсу ручеекъ. Тутъ она сѣла. Сердце билось какъ-то пріятно: вотъ онъ придетъ... Ахъ какъ долго? Не ушелъ ли онъ?.. Долго еще просидѣла Елена, скучно и страшно ей сдѣлалось. «И зачѣмъ это я, дура набитая, пошла?.. Если тетка воротится, да корову увидитъ, да меня не застанетъ?..». Но она не шла назадъ, а ждала Плотникова. Вотъ и онъ идетъ въ коричневомъ халатѣ, полы котораго заткнуты за ремень, которымъ онъ опоясался, въ холщевыхъ штанахъ, желтой ситцевой рубахѣ, въ сапогахъ, съ папироской во рту. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ набируху.

«Спрячусь я!», вздумала вдругъ Елена и спряталась въ кусты; смѣшно ей сдѣлалось.

Плотниковъ сѣлъ на мостикъ.

— А-у!—услыхалъ Плотниковъ тоненькій голосокъ, похожій на кошачій визгъ. Онъ вздрогнулъ, поглядѣлъ кругомъ и сталъ смотрѣть на дорогу по направленію къ заводу. Еленѣ обидно даже стало, что Плотниковъ не ищетъ ея.

— Илья Назарычъ! — вскричала она своимъ голосомъ. Сердце забилось сильнѣе, она улыбалась.

Плотниковъ всталъ, посмотрѣлъ въ ту сторону, откуда послышалось восклицаніе и увидалъ сарафанъ.

— Елена! это ты?

Елена вышла и захохотала.

— Обманула, обманула! Ловите!!—и она убѣжала въ лѣсъ.

Плотниковъ тоже пошелъ въ лѣсъ. Слышно было, какъ хрустѣли сухія вѣтки, валежникъ. Плотниковъ крикнулъ;

— Елена-уу!

— А-уу!!

— Иди сюда-у!

— А-уу!!—Эти восклицанія далеко раскатывались по лѣсу и гудѣли гдѣ-то далеко.

Плотниковъ шелъ на откликъ Елены, которая была уже далеко черезъ логъ.

«Что за глупая дѣвчонка!»—думалъ онъ. Ну, зачѣмъ она прячется?—и старался догнать ее.

Илья Назарычъ за это время много передумалъ о своей любви и о своемъ желаніи жениться на Еленѣ; онъ хорошо понималъ, что Елена его любитъ, а это онъ заключалъ изъ обращенія ея съ нимъ въ ея избѣ. Когда онъ проснулся на другой день послѣ сцены въ слободѣ и на плотинѣ, ему вдругъ пришла въ голову мысль, что онъ уже слишкомъ далеко зашелъ съ своими похожденіями. Онъ очень много видалъ женщинъ и дѣвицъ въ заводѣ и въ городѣ, сравнивалъ тѣхъ и другихъ и невольно задавалъ себѣ вопросы: отчего красивыя запрудскія дѣвицы не нравятся ему? вѣдь есть и красивѣе Елены; но его отъ нихъ какъ будто тошнило. Вѣдь есть и красивыя и притомъ отцы ихъ богатые, стоитъ только разъ завлечь ихъ—женихъ, но ему не нравилось, что въ нихъ такой простоты не было, какъ у Елены. Перебралъ онъ всѣ свои мысли, всѣ воспоминанія, всѣ слова, говоренныя съ нею, и пришелъ

къ тому заключенію, что Елена ему лучше нравится, чѣмъ другія дѣвицы, но онъ что-то находилъ отталкивающее въ ея натурѣ, какой-то тяжелый туманъ ложился въ это время на его мысли; онъ старался гнать прочь этотъ туманъ, и только думалъ: «она дѣвушка славная, я ее одну люблю», и при этомъ онъ потягивался, кровь билась сильнѣе, въ головѣ чувствовался жаръ...

Когда онъ увидалъ въ лѣсу Елену, на него напала робость. Онъ бѣжалъ за ней, ему хотѣлось обнимать и цѣловать ее цѣлый часъ, цѣлый день; утромъ онъ думалъ, что ему легче достанется Елена, онъ смѣлѣе приступитъ къ ней, а теперь его пробирала дрожь, онъ сдѣлался не то скучный, не то злой.

Что чувствовала Елена? Она обрадовалась, что Илья Назарычъ пришелъ, но ей вдругъ стыдно сдѣлалось, что она одна въ лѣсу съ мужчиной, и она убѣжала въ лѣсъ, а поди, ищи ее въ лѣсу, гдѣ ей чуть ли не каждый пень знакомъ. Сперва она чувствовала, что она Богъ знаетъ въ какомъ благодатномъ мѣстѣ находится, дышалось свободнѣе, пѣть хотѣлось, плясать хотѣлось, каждое дерево шелестило своими мохнатыми вѣтвями какъ-то любезно, пахло хорошо, муравьи ее забавляли; но потомъ ей вдругъ сдѣлалось грустно. «Зачѣмъ я убѣжала отъ него?.. Нѣтъ, нѣтъ... Пусть побѣгаетъ, порыщетъ... Онъ въ халатѣ, пусть издеретъ его... Вотъ, смѣхота-то будетъ»... Потомъ ей хотѣлось высказаться ему, но что она ему скажетъ?

Съ часъ уже прошло такъ. Они все удалялись дальше въ лѣсъ, Илья Назарычъ все былъ позади. Наконецъ она вышла на полянку, вокругъ которой росъ высокій сосновый и осиновый лѣсъ, солнце привѣтливо смотрѣло въ это благодатное мѣсто, грѣло. Сѣла Елена около лѣсу, спиной къ солнцу, положила на землю около себя набируху, въ которой было уже много грибовъ. Вздохнула она тяжело, задумалась, глядя въ уголъ—въ лѣсъ, стала считать деревья, задавило что-то въ груди и вдругъ покатились изъ глазъ слезы; пошли и пошли... хочетъ Елена унять слезы, а онѣ пуще и пуще идутъ. «Господи!—шепчетъ она и смотритъ на небо. Го-о-споди!.. Какая я несчастная. Пожалѣй ты меня, пожалѣй тятеньку и маменьку»... Наконецъ она вздрогнула, утерла ладонью мокрое лицо, стало легче... Вдругъ она обернулась налѣво—стоитъ Плотниковъ и смотритъ на нее. Вскрикнула Елена отъ испуга, вскочила, схватила набируху и убѣжала въ лѣсъ.

— Елена!

Елена молчитъ.

— Елена-у!

— Ну-у! «Господи, какая я дура... При немъ-то разнюнилась!.. Чтой-то это со мной?.. Дуракъ! Подмѣчать, ишь ты»...

Она ушла очень далеко отъ Плотникова, стало ей весело и она запѣла сначала едва слышно, потомъ громче и громче заводскую пѣсню:

Калинушка да съ малинушкой
Ранымъ рано разцвѣла.
На ту пору времечько
Мать дочь родила (два раза);
На четвертый годочикъ
пташечкой прилечу (два раза).
Сяду во зеленъ садъ,
Тоскою кручиною
Весь садъ осушу,
Слезами горючими
Рѣчку пропущу.
Матушка по сѣничкамъ
похаживаетъ,
Невѣстушекъ лапушекъ
побуживаетъ:
Станьте вы, невѣстушки,
Лапушки мои!
Што у насъ за пташечка
По саду поетъ?
Гдѣ же эта пташечка
Причеты беретъ?
Первый братецъ сказалъ:
Пойду застрѣлю.
Другой братецъ сказалъ:
Пойду посмотрю.
Третій братецъ сказалъ:
Пойду приведу (два раза).
За столъ посажу.
Стану ее нѣжить,
Ласкать, цаловать:
Это наше дитятко
Съ чужой стороны.
Споила, вскормила,—
Замужъ отдала.
Я на свою маменьку
Ой да осердилася;
Я ко своей маменькѣ
Три года не приду;

Эту пѣсню она пѣла съ такимъ чувствомъ, что ничего не замѣчала кругомъ, а шла тихо, безсознательно, куда глаза глядятъ, кружась въ лѣсу.

Илья Назарычъ бѣсился. Онъ не понималъ, отчего Елена плачетъ и, какъ онъ увидалъ ее, она убѣжала въ лѣсъ, а теперь поетъ. «Ужъ догоню же я ее».

— Елена—у!!—крикнулъ онъ громко.

— Илька—у!!.. ау-у!!—откликнулась Елена.

Илья Назарычъ нагналъ Елену. Она сидѣла около тропинки и ѣла хлѣбъ. Набируха ея была полна съ верхомъ, а у Ильи Назарыча и половины не было грибовъ.

— Ой-ой! как вы халатъ-то отполысали!—и Елена захохотала. Халатъ Ильи Назарыча дѣйствительно былъ продранъ во многихъ мѣстахъ. Илья Назарычъ поставилъ набируху на землю, рядомъ съ набирухой Елены.

— О-о! сколько грибовъ-то! Какой вы ротозѣй. По воробьямъ у васъ глаза-то смотрѣли што ли?

— Такъ что-то. Счастья нѣтъ...—и онъ сѣлъ рядомъ съ ней.

— Хлѣба хочете?

— У меня свой.—И Илья Назарычъ сталъ ѣсть свой кусокъ ржаного хлѣба. Сидѣли молча минуты двѣ.

— А я какую славную кучу нашла груздей... Вотъ этихъ самыхъ. Восемь никакъ срѣзала.

— Я рыжиковъ много нашелъ.

— Ну, ужъ!.. А у меня какіе славные рыжики. Глядите,—и она сняла четыре большихъ бѣлыхъ гриба, въ набирухѣ лежалъ пластъ очень мелкихъ рыжиковъ.

— Ты зачѣмъ давече плакала?—спросилъ Елену, немного погодя, Плотниковъ.

— Когда?

— На полянкѣ.

— Уйди! Когда я плакала! я такъ. Много будешь знать, скоро состаришься.

Вдругъ Илья Назарычъ обнялъ Елену и поцѣловалъ. Елена вырвалась, вскочила и закричала:

— Ну, чтой-то въ самомъ дѣлѣ за страмъ!—И она, схвативъ палку, прибавила чуть не плача:

— Подойди только, лѣшакъ экой, какъ я те учну хлестать! Развѣ можно такъ-ту?

— Ты любишь меня?

— Вотъ ужъ! стоитъ экова фармазона любить,—и она улыбнулась.

Елена встала, взяла набируху и пошла.

— Посидимъ.

— Домой надо.

— Да вѣдь дома никого нѣтъ.

— Чего я шары-то стану продавать,—и она пошла весело и запѣла: «всѣ-то ноченьки».

— Елена! Я тѣ подарокъ принесъ.

Елена остановилась, улыбнулась и сказала:

— Врешь! Ну, давай.

— А поцѣлуешь!

— Ой, нѣтъ.—И она отвернула лицо.

— Возьми.

Елена подошла къ Ильѣ Назарычу, онъ далъ ей горсть красныхъ пряниковъ и четыре конфетки.

— Покорно благодарю,—сказала стыдливо Елена.

Пошли. Елена шла впереди, а Плотниковъ позади ея.

Илья Назарычъ шелъ злой. Ему вдругъ досадно сдѣлалось, что Елена не поцѣловала его за подарокъ, какъ будто играетъ имъ. Но ему все еще хотѣлось достичь своей цѣли, иначе что же ему за польза была идти по грибы сегодня, тогда какъ сегодня у него была работа въ конторѣ.

— Што же вы назади-то идете, какъ нищій?—сказала вдругъ Елена, обернувшись къ Ильѣ Назарычу.

— И здѣсь ладно.

— Ладно!.. Я не люблю, если кто за мной примѣчаетъ.

— Я тоже не люблю,—сказалъ ядовито Илья Назарычъ. Елена остановилась. Илья Назарычъ пошелъ и не глядѣлъ на нее. Когда онъ поровнялся съ ней, она ударила его по плечу рукой и съ хохотомъ убѣжала въ лѣсъ. Илья Назарычъ немного повеселѣлъ и пошелъ было за ней въ лѣсъ.

— Догони! Ну-ко? Кто скорѣе бѣгаетъ?—кричала Елена, заливаясь хохотомъ въ лѣсу.

Илья Назарычъ побѣжалъ за ней, долго онъ бѣжалъ и, наконецъ нагнавши, схватилъ ее за платье.

— Вотъ ужъ теперь не отпущу.

— Отстань!.. Илька!..—кричала Елена, но не такъ громко. Лицо ея сильно покраснѣло, она тяжело вздыхала. Илья Назарычъ обнималъ Елену, она отбивалась и вырвалась. Половина грибовъ у нея изъ набирухи высыпались.

— Разѣ такъ играютъ!—сказала чуть не въ слезахъ Елена, обидѣвшись баловствомъ Плотникова.

— Елена! если ты любишь меня, подойди поцѣлуй.

— Какъ же!—и Елена пошла.

Раза четыре Елена заставляла Плотникова идти впередъ, бѣгала отъ него, раза четыре онъ нагонялъ ее и обнималъ, но Елена только разъ дозволила ему поцѣловать себя, и то тогда, когда не могла справиться съ нимъ. Такъ они дошли до мостика.

— Пойдемъ завтра за малиной?—сказала вдругъ у мостика Елена Плотникову.

— Приду, приду.

Илья Назарычъ пошелъ впередъ, а Елена далеко отстала отъ него. Въ слободѣ ее четыре женщины спрашивали:—а што ты, Олена на покосъ не пошла? По грибы такъ пошла...

Рано Елена легла спать, долго она думала о нынѣшнемъ днѣ, сердце билось радостно, лицо горѣло. «Все я буду съ нимъ ходить... Ишь цаловаться проситъ! какъ же: на вечеркѣ бы,—а то... А поцалую же я его!..». И она крѣпко обняла подушку... Такъ и заснула.

На другой день Елена уже меньше дичилась Ильи Назарыча. Когда оба они набрали много малины, находились вдоволь, напѣлись и надумались вволю, то, сойдясь вмѣстѣ, сѣли рядомъ и стали закусывать.

— Чтой-то ты прежде такой ласковый, да шутъ былъ, а теперь все молчишь?

— Невесело, Елена Гавриловна.

— Будь ты проклятая хвастушка! Кто те по затылку-то колотитъ што ли?

— Елена!—и онъ обнялъ Елену.

— Слышь, Илька! въ послѣдній разъ говорю: ей-Богу никогда не буду съ тобой ходить.

— И не ходи, чортъ съ тобой!—Илья Назарычъ закурилъ папироску.

Оба молчали.

— Какъ бы намъ, Елена, видѣться съ тобой чаще,—спроситъ вдругъ Илья Назарычъ.

— А по малину будемъ ходить.

— А зимой?

— Вечерки будутъ.

— А если тебя замужъ выдадутъ.

Елена задумалась.

— Ну, ужъ не выдадутъ. Ни за кого не пойду.

— А за меня пойдешь?

— Што дашь?

Елена встала, пошла въ малинникъ, за ней шелъ и Плотниковъ. «Экая я дура, думала она. Зачѣмъ это я столько наболтала?». Малины было очень много; она, стоя на колѣняхъ, теребила ее съ вѣтокъ и бросала горстями въ набируху. Лицо ей словно жгло что-то, голова какъ будто горѣла...

— Иля—у!—крикнула она во все горло, потому что Плотниковъ давно не кликалъ ее.

— Здѣсь,—сказалъ негромко Плотниковъ. Онъ былъ позади ея, въ двухъ шагахъ. Она вздрогнула, оглянулась, онъ тоже оглянулся. Онъ и она улыбались, но видно было, что и Плотниковъ былъ, какъ говорится, не въ своей тарелкѣ, т. е. машинально рвалъ малину. Вдругъ Елена подвинулась къ нему на колѣняхъ и, подавая крупную бѣлую ягоду, сказала.

— Надо?

— Давай.

— Нѣтъ, не хошь!

Плотниковъ хотѣлъ схватить ее за руку, но она не давала ее. Наконецъ онъ схватилъ ея руку, сжалъ крѣпко; Елена взвизгнула, наклонилась къ нему, онъ ее обнялъ... Тутъ она вдругъ подняла лицо, Илья Назарычъ крѣпко началъ цѣловать ее, и Елена, обвивъ его шею лѣвою рукой, поцѣловала его и отскочила.

— Молчи! Иля!.. никому не говори,—и она опять стала собирать малину. Стыдно ей стало, но и весело какъ-то, такъ весело, какъ никогда. Теперь она не чувствовала никакого горя. Опять сѣли; стали цѣловаться безъ принужденій. И долго они

цѣловались; Елена чувствовала себя самою счастливою женщиной; теперь только она поняла, что эти поцѣлуи далеко лучше, чѣмъ на вечеркахъ.

— Ты, Иля, женишься на мнѣ?—спросила она вдругъ Илью Назарыча, обнимая его, смотря ему въ глаза.

— Женюсь, Леночка.

— А бить не будешь?

— Нѣтъ.

И опять они цѣловались долго-долго. Домой Елена Гавриловна пришла веселая и долго распѣвала одну пѣсню: «Што поѣду ли я, молодецъ, въ Китай городъ». Но невесело было Ильѣ Назарычу, когда онъ пришелъ домой; отецъ пьяный билъ своего товарища, мастера Китаева. Сталъ Илья Назарычъ унимать его, онъ кинулся на него, и такъ побилъ, что Илья Назарычъ всталъ съ полу съ окровавленнымъ носомъ и большими синяками на лицѣ и на лбу.

ГЛАВА XII.

Петровскій рудникъ.

Въ это время уже половина осиновцевъ обѣихъ половинъ кончали страду. Надо замѣтить, что осиновцы, хотя и назывались разными названіями по работамъ, но всѣ они называли себя мастеровыми. Большая же часть ихъ назывались *непремѣнными работниками*. Эти непремѣнные работники дѣлились на два разряда: конныхъ и пѣшихъ; конные возили дрова, уголь, руду къ фабрикамъ и справляли другія работы; пѣшіе работали на фабрикѣ, въ рудникахъ и у рудниковъ. Коннымъ назначалось работать 200 дней въ году, пѣшимъ 125, съ перваго мая по первое ноября имъ полагалось работать половину мѣсяца на заводѣ, половину на себя. Но это были только правила, на дѣлѣ выходило напротивъ въ осиновскомъ заводѣ: все зависѣло отъ управляющаго, приказчиковъ и надзирателей. Такъ что Токменцовъ и сотни его товарищей пользовались свободой много-много мѣсяцъ въ году и противъ этого они ничего не могли сдѣлать, потому что прогульный день имъ ставился въ вину, за которую ихъ наказывали. Кромѣ этого ихъ еще стѣсняли и на провіантѣ: напримѣръ Токменцову полагалось провіанта четыре пуда въ мѣсяцъ, а давали три и два пуда, на Гаврилу до 15-ти-лѣтняго возраста полтора пуда, а давали пудъ или тридцать фунтовъ. И противъ этого осиновцы не могли ничего говорить, потому что жаловаться некому, да и за жалобу, если бы она была сдѣлана, имъ пришлось бы поплатиться своей шкурой, и они все-таки не получили бы того, что̀ бы имъ слѣдовало. Поэтому положеніе рабочаго народа было не легкое. Не всѣ конечно были въ такомъ положеніи. Писаря, называвшіеся тоже непремѣнными работниками, служившіе въ конторѣ и заправлявшіе дѣлами, кромѣ членовъ конторы (которые служили по найму за хорошую плату и были больше отставные чиновники), тѣ, называясь *мастеровыми*, получали наравнѣ съ рабочими провіантъ. И такъ, въ осиновскомъ заводѣ по настоящему было два класса людей: непремѣнные работники и мастеровые, и оба назывались нижними горными чинами. Мастеровые, собственно говоря, означали мастера, т. е. не такъ, какъ понимали рабочіе, что мастеровой значитъ работникъ. Мастеровые были нарядчики, приказчики и другія должностныя лица на рудникахъ и въ фабрикахъ,— люди, съ дѣтства незнавшіе тяжелой работы. Эти люди занимались торговлей въ заводѣ; изъ нихъ были плотники, столяры, портные (впрочемъ портнымъ и сапожнымъ ремесломъ въ заводѣ больше занимались отставные солдаты и пріѣзжіе мѣщане, такъ же какъ и въ гостиномъ было два купца не изъ осиновцевъ), были кузнецы, мѣдники и т. п. люди, и они или поставляли вмѣсто себя рабочихъ, или платили за это деньги, а иные съ дѣтства пользовались особенною милостью. Мастеровые жили конечно гораздо лучше непремѣнныхъ работниковъ, имѣли лучшіе дома, кой-какія деньги и даже важничали передъ рабочими, считая себя выше ихъ. Поэтому мастеровые и составляли въ заводѣ свой отдѣльный кружокъ, въ который трудно было попасть рабочему. Впрочемъ мастеровые не изъ начальниковъ, люди, кое-какъ перебивающіеся своимъ трудомъ, съ рабочими жили дружно, роднились, но все-таки въ обращеніи ихъ была какая-то натянутость. Такъ какъ мастеровые жили дома, то рабочіе часто просили ихъ о чемъ-нибудь, напримѣръ поработать въ фабрикѣ или у рудниковъ за деньги, привезти дровъ, сѣна съ покосу, и преимущественно помочь косить траву. Рабочіе же съ своей стороны сами услуживали мастеровымъ вдвойнѣ.

У каждаго семейнаго осиновца, принадлежавшаго Граблеву или приписаннаго къ нему, былъ покосъ, переходившій изъ рода въ родъ. Вновь новому поколѣнію рѣдко давали покосъ; поэтому покосы обыкновенно дѣлились между дѣтьми, но трава косилась сообща и воровства почти не было, потому что за воровство товарищи расправлялись своимъ судомъ и били ужасно. Покосы большею частью находились въ нерасчищенномъ лѣсу. Дрова тоже отпускались по билетамъ изъ особыхъ дѣлянокъ, и ни одинъ рабочій не рубилъ лѣса съ *своей* земли, а старался срубить бревнышко или нарубить дровъ въ господской дачѣ, задабривая при этомъ лѣсныхъ сторожей.

Прошло уже Преображенье; половина травы на покосахъ скошена и сложена въ зароды, половина еще не скошена; одна часть осиновцевъ убрались на покосы, другая работаетъ на заводѣ, дома остались только старухи, старики да маленькія дѣти.

Петровскій рудникъ находится въ 20 верстахъ отъ осиновскаго завода, въ пятнадцати верстахъ отъ того мостика, гдѣ встрѣчались Елена съ Плотниковымъ; покосъ же Токменцова находился въ двѣнадцати верстахъ отъ завода, дорога къ нему идетъ сначала небольшой просѣкой, а потомъ узенькой дорожкой лѣсомъ мимо стараго закрытаго рудника Михайловскаго. Когда Токменцовъ выѣхалъ за заводъ, онъ опомнился.

«Совсѣмъ они меня сбили съ толку. А не поѣду же я на рудникъ!», и онъ заворотилъ на покосъ,

хотя у него и не было литовки съ собой. На встрѣчу ему попадались пѣшіе запрудчане съ литовками и безъ литовокъ.

— На покосъ?—спрашивали его первые попавшіеся.

— На покосъ. Одолжи, Савелій Игнатьичъ, литовки.

— Да мнѣ завтра самому надо косить.

— Завтра отдамъ. А не видали ли Петрушку Ѳомина?

— Онъ тамъ на покосѣ.

Получивши литовку, Гаврила Иванычъ поѣхалъ на покосъ. Покосъ его находился въ лѣсу на болотистомъ мѣстѣ, трава была большая. Въ такихъ же лѣсахъ съ небольшими полянками были покосы и другихъ рабочихъ, которые уже клали въ копны, а потомъ таскали граблями въ зароды. Народу кругомъ было человѣкъ до тридцати мужчинъ, женщинъ и ребятъ, всѣ они работали тутъ уже двои сутки съ ранняго утра до поздняго вечера. Работа кипѣла. Увидалъ Гаврила Иванычъ Петра Павлыча Ѳомина, мастерового съ запрудской стороны, занимающагося кузнечнымъ ремесломъ, давнишняго своего пріятеля, съ которымъ онъ каждый годъ косилъ траву. Онъ работалъ съ молодой женой вдвоемъ.

— Давно не видать гдѣ-то!—сказалъ Ѳоминъ, увидавъ Гаврилу Иваныча, въѣхавшаго на чужую полянку.

— Да вотъ надо бы косить, да не знаю... Не поможешъ ли, Петръ Павлычъ?

— Не знаю... Домой надо: двои сутки валандаюсь.

— А гдѣ у те Анисья-то?—спросила жена Ѳомина.

— Въ городъ уѣхала штаны продавать.

Ѳомины захохотали.

— Помоги, Петръ Павлычъ!

— Ну, не то ладно. Давай-ка догребай съ того конца.

Снялъ Гаврила Иванычъ зипунъ, закурилъ трубку и принялся за работу. Дѣло было привычное, грабли изъ рукъ не валились и онъ живо гребъ сѣно, составляя изъ него кучу, стараясь скорѣе помочь товарищу, чтобы тотъ помогъ ему, а то если пойдетъ дождь, завтра Ѳоминъ уѣдетъ домой.

Стало темно. Половина рабочихъ съ покосу ушли домой, а половина рабочихъ собрались въ кучку, разложили огонь на полянкѣ, усѣлись вокругъ огня и стали закусывать: у иныхъ было въ берестяныхъ буракахъ сусло, у одной женщины былъ пирогъ съ морковью, у другой пирогъ съ свѣжими грибами, а Ѳомина дала мужу и Гаврилѣ по куску пирога съ свѣжимъ зеленымъ лукомъ; потомъ ѣли малину. Высоко поднимавшееся пламя съ сѣрымъ густымъ дымомъ хорошо освѣщало смуглыя лица сидящихъ въ различныхъ позахъ людей въ разноцвѣтныхъ одеждахъ, зѣвающихъ, ѣдящихъ и разговаривающихъ. Разговоры шли дружные, брани не было, но говорили не долго, скоро улеглись, кто у огня, кто въ телѣгѣ, и скоро заснули крѣпкимъ сномъ; только однѣ лошади, привязанныя на длинныя веревки къ деревамъ или распущенныя безъ привязи, съ боталомъ на шеѣ и съ путами на ногахъ, тихо бродили по скошенной травѣ и щипали ее. Утромъ часа въ четыре встали всѣ одинъ за однимъ и принялись снова за работу.

Около вечера пріѣхала и Степанида Ивановна съ Чуркиной и ребятами. Она удивилась, что застала брата на покосѣ, а тотъ удивился, что нѣтъ Елены. Но скоро успокоился. Началась опять работа и продолжалась трое сутокъ. Гаврила Иванычъ и Ганька съ Шарабошинами и Чуркиными, скосивъ траву на своемъ покосѣ въ сутки, разметали ее на ближайшей лужайкѣ, другія и третьи сутки помогали Шарабошиной и Чуркиной, а въ четвертыя склали свое просохшее сѣно въ зародъ, заключавшій въ себѣ возовъ восемь сѣна. Угощенія по окончаніи страды никакого не было, а каждый говорилъ: «приходи же въ Успенье-то».

Поѣхалъ Гаврила Иванычъ домой веселый; поѣхали веселые Чуркины, Ѳомины и Шарабошины. Но о женитьбѣ сына Чуркиной какъ во время страды, такъ и теперь не было и слова. Не доѣзжая до мостика верстъ пять, изъ перекрестной узенькой дороги выѣхалъ верхомъ на лошади десятникъ Оплатовъ.

— Токменцовъ, на работу въ рудникъ!

— Ты вишь, я съ покосу ѣду.

— Мое это дѣло-то шло ли. Ишь назначеніе вышло сто сорокъ восемь человѣкъ сегодня нагнать на рудникъ.

— Што такъ: вѣдь семьдесятъ восемь было?

— Приказъ такой, сказано! Малолѣтковъ велѣно двѣнадцать, да подростковъ тридцать.

— Оказія!

— Ишь отъ управляющаго, болтаютъ, указъ такой въ контору вышелъ, штобъ къ Успеньеву дню было непремѣнно добыто изъ нашего рудника двѣ тысячи пудовъ руды, а время-то сколь?—всего четыре дня, а самъ знашь, сколько шахтовъ-то: всего четыре. Ну, разумѣется контора съ приказчикомъ и давай умомъ мутить.

Токменцовъ сталъ было просить десятника освободить его отъ работы, просили и всѣ его товарищи, но десятникъ только говорилъ: «мнѣ ужъ за Егора Шилохвостова была баня, другую штоли?—не тебѣ чета, старъ ужъ сталъ».

Дѣлать нечего, надо было идти на рудникъ съ Ганькой, который назывался еще малолѣтко.

— Ты, Степанида, лошадь-то уведи домой, да скажи Оленѣ, штобы она послѣ завтрѣе принесла мнѣ хлѣба, а то до Успенья вѣдь не буду домой. Да смотри, штобы она тово...

И Гаврила Иванычъ пошелъ съ Гаврилой на рудникъ по тропинкѣ, по обѣимъ сторонамъ которой росъ березникъ; десятникъ поѣхалъ на покосы собирать народъ.

Сильно не хотѣлось Гаврилѣ Иванычу идти на петровскій рудникъ, такъ не хотѣлось, что онъ готовъ былъ Богъ знаетъ какія наказанія принять, только бы не идти, готовъ былъ убѣжать. Онъ прежде не чувствовалъ такой особенной боязни, когда ходилъ на этотъ рудникъ, онъ даже согласился бы идти на Ильинскій рудникъ, только бы не сюда. Этотъ рудникъ былъ самый тяжелый для рабочихъ,

впрочемъ гдѣ придется работать, въ горѣ, или на ровномъ мѣстѣ; здѣсь часто убиваются рабочіе; отсюда они весной уплываютъ на баркахъ внизъ и бѣгаютъ. Но Гаврила Иванычъ шелъ, шелъ за нимъ и маленькій Гаврила, плача и ругаясь.

Лѣсъ сталъ рѣже и рѣже и вдругъ его какъ будто отрѣзали, какъ ковригу хлѣба: налѣво въ пространствѣ на двѣ версты глазамъ представляются небольшія насыпи, имѣющія видъ невысокихъ холмовъ съ каменисто-сѣрою почвою, обвалы, ямы безъ воды и полныя воды, какіе-то не то колодцы, не то провалы съ прогнилыми срубами, досками, и все это такъ перемѣшано, какъ будто здѣсь было или землетрясеніе или для чего-то неизвѣстно здѣсь рыли и копали землю. Вонъ недалеко семь человѣкъ рабочихъ выползли изъ-за оврага съ топорами, спустились къ колодцу и давай добывать лежащее около него толстое бревно. Это прежній рудникъ. Около дороги, по которой шелъ Гаврила Иванычъ, вся земля изрыта и земля не обваливается пока вѣроятно потому, что ее тамъ держитъ что-нибудь, но за то посмотрите направо: тамъ на цѣлую версту въ окружности земля какъ будто рухнула, мѣстность приняла видъ лодки, въ серединѣ которой стоитъ не колыхнется заплѣсневѣлая вода, и берега которой расщелились во многихъ мѣстахъ, и въ этихъ щеляхъ торчатъ то доски, то обрубки деревьевъ. Вокругъ этого лога ростутъ кустарники пихты. Земля здѣсь рухнула и засыпала шурфы и шахты, такъ что ихъ теперь и слѣдовъ нѣтъ.

За этимъ мѣстомъ опять идетъ небольшой, рѣдкій лѣсъ, около дороги и въ лѣсу лежатъ бревна, горбины, въ лѣсу въ разныхъ мѣстахъ пилятъ бревна. Наконецъ и Петровскій рудникъ. На окружности десяти верстъ земля то изрыта, то представляетъ собою гряды съ землею, наваленною въ большія кучи,—насыпи съ глинистою и песчанистою землей. Между этими насыпями въ нѣкоторыхъ мѣстахъ положены доски, по которымъ ползаютъ мальчики и мужчины съ тачками, наполненными землей, смѣшанной съ рудой. Идутъ они и заворачиваютъ въ разныя стороны и вываливаютъ эту руду къ большой, высокой квадратной насыпи, имѣющей видъ горы, огороженной слегка заплотомъ изъ досокъ. Это рудный дворъ. Около этой горы стоятъ вѣсы и восемь телѣгъ, запряженныхъ лошадьми. Рабочіе накладываютъ руду на вѣсы, потомъ кладутъ руду въ телѣги. Токменцовъ выкурилъ около нихъ трубку, потолковалъ и пошелъ. Дальше опять мальчики таскаютъ куда-то землю направо и скрываются за насыпями. Но не все это пространство безъ лѣса было завалено землей и изрыто. Было много ровныхъ мѣстъ, гладкихъ, на которыхъ росла трава и щипали траву лошади, но за то на этихъ мѣстахъ кое-гдѣ были вбиты столбы съ зарубинами и крестиками, означающими, что здѣсь подъ землей кончается шурфъ или предполагается быть прорытой шахта. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рабочіе работали: что-то рубили, тесали и везли на лошадяхъ бревна изъ лѣсу. Въ одномъ мѣстѣ стоитъ большое деревянное строеніе—это изба для рабочихъ. Рабочихъ было здѣсь много, всѣ они что-нибудь да дѣлали: то таскали горбины, то везли бревна къ пильщикамъ, которые пилили бревна у дороги, то везли землю и руду. И всѣ они были въ поту, черные какъ трубочисты, заваленные въ грязи. Впереди большая гора, обросшая лѣсомъ. Около этой горы тоже навалены большія кучи, видятся какіе-то шесты, дымъ. Еще далѣе, ближе къ горѣ, версты на двѣ отъ нея направо, недалеко отъ дороги, между двумя насыпями вбиты въ землю четыре сваи съ крышей. Около нихъ суетится десять человѣкъ рабочихъ. Половина изъ нихъ вертятъ ручки отъ двухъ валковъ, вдѣланныхъ поперекъ свай, на одинъ валокъ навертывается веревка, съ другого балвана веревка спускается въ яму, похожую на колодецъ, съ срубами и имѣющую пространства два квадратныхъ аршина—это *шахта*, а сваю съ балваномъ называютъ *воротомъ*, рабочихъ *воротовыми*. Между валками отъ перекладины на потолкѣ идетъ въ шахту веревка, по этой веревкѣ спустились внизъ двое. Подняли изъ шахты бадью съ землей, высыпали ее на поверхность земли. Двое рабочихъ дѣлили эту землю лопатами на двое и накладывали ребятамъ въ тачки. Изъ ребятъ одни сваливали въ сторонѣ землю, а другіе везли къ рудничному двору руду.

Рабочіе подняли одну бадью, въ ней стоялъ мальчикъ, лѣтъ 16, блѣдный, въ грязной рубахѣ.

— Крѣпи подайте! — проговорилъ онъ, и его опустили въ шахту. Потомъ, поднявши обѣ бадьи, поставили ихъ около ворота.

Подъ горкой налѣво лежали горбины. Четыре человѣка бросилось къ нимъ, и по веревкѣ стали легонько спускать ихъ въ шахту. Спустили штукъ восемь.

Подошелъ къ шахтѣ штейгеръ.

— Стой, стой! будетъ...—крикнулъ онъ, и затресъ веревку, свиснувъ въ шахту. Въ бадьѣ подняли одного рабочаго.—Ломайте воротъ. Выходите изъ шахты!.. Спусти эту бадью, чортъ!—крикнулъ онъ на одного рабочаго, и ударилъ его по плечу. Пришелъ Парамоновъ нарядчикъ. Бадью съ рабочимъ опустили назадъ.

— Ты што же это смотришь? Вѣдь это безъ руды—глина!

— Я нарочно велѣлъ...

— Велѣлъ. Чортъ! Шевелись: вели Егорьевскую шахту разрывать. Живо. Эй!—кричалъ онъ рабочимъ, стоящимъ у ворота. Десять человѣкъ въ шахту; десять къ вороту! Шевелись! Гдѣ руда?

— Вотъ.—И Парамоновъ указалъ на кучу налѣво съ желѣзной рудой.

— Да вѣдь мѣдную руду-то приказано! Ну! что ты смотришь, харя? Ей-Богу, я на тебя пожалуюсь.

— Что же я-то сдѣлаю? Больно прытокъ.

— Ты долженъ въ другое мѣсто копать!

— Не сердись, егоза. Поди-ко, покопай ее!

— Молчать...

— Эй вы, черти! Убьетъ!!—крикнулъ одинъ рабочій, бѣжавшій отъ горы, и скрылся за ближнею насыпью.

Вмигъ всѣ прилегли на землю, все стихло вокругъ; пильщики тоже соскочили съ козелъ и прилегли на землю. Черезъ двѣ минуты раздался ужас-

ный трескъ и гулъ, какого не бываетъ даже отъ грозы, точно изъ ста пушекъ въ разъ выстрѣлило подъ самымъ ухомъ; еще раздался трескъ, но потише. Въ человѣкѣ, не видавшемъ подобныхъ вещей, это произвело бы величайшій ужасъ. Люди встали блѣдные, горы не видно—все застлало дымомъ. Немного погодя стало яснѣе видно предметы, направо отъ горы отломилась огромная глыба.

— Ладно, какъ ее хватило!

— Небось пороху-то дивно сожрала.

— Вотъ благодать-то опять руды. Гли, какая та часть-то!—говорили рабочіе.

— Эй! всѣ ли цѣлы? — крикнулъ штейгеръ, ставши на одну высокую кучу земли.

— Никитину, гли, руку оторвало, — сказалъ одинъ рабочій, стоявшій въ числѣ прочихъ на другой насыпи.

— Чортъ!!—и штейгеръ плюнулъ.—Эй, Парамоновъ, пошли къ горѣ тридцать человѣкъ новыхъ. Везите туда лѣсъ! ребята, съ тачками туда!.. Копайте штольни!..—и штейгеръ пошелъ распорядиться, а Парамоновъ исполнялъ приказаніе. Рабочіе не знали, за что взяться.

Вдругъ раздался звонокъ въ колоколъ, находящійся на рудничномъ дворѣ. Это означало время ужина и ночную смѣну. Одинъ рабочій крикнулъ, что есть силы, нагибаясь до половины въ шахту: «шабашъ!».

Повыползли изъ земли рабочіе въ рубахахъ и штанахъ, загрязненныхъ до нельзя, усѣлись они около тѣхъ мѣстахъ, гдѣ работали, достали изъ-подъ досокъ свои узелки и стали ѣсть ржаной хлѣбъ, припивая водой изъ бадей, въ которыя вливали воду изъ насосовъ. Поѣли; кое-кто покурилъ трубки и смѣнившись стали опять работать; тѣ, которые работали въ шахтѣ, стали работать на поверхности, а нѣкоторые за провинку пошли работать въ шахту. Во время ужина производилась расправа: по приказанію штейгера наказали двухъ рабочихъ и четырехъ подростковъ за то, что штейгеръ засталъ ихъ до ужина неработающими, а спящими у старыхъ закрытыхъ шахтъ.

Опять началась работа. Гаврила Иванычъ пошелъ къ Егорьевской шахтѣ съ двадцатью рабочими. Всѣмъ имъ выдали инструменты: кайлы, лопаты, топоры, три фонаря съ сальными свѣчами.

— Спускайся, Гаврила,—говорилъ одинъ рабочій Гаврилѣ Иванычу.

— Самъ спускайся: она вѣдь одиннадцать саженъ, а смотри, срубы-то какіе?

— Ну-ка, стройте бадью, я тожно слѣзу,—сказалъ другой рабочій, снявши зипунъ и бросивши его около шахты.

Наладили бадью: рабочій залѣзъ въ бадью, одной рукой держась за веревку, другою держалъ шестъ. Вòрота здѣсь не было.

— Ну-ну, сущай. Вали!—кричалъ рабочій: его спускали полегоньку.

— Тяни!—услыхалъ изъ шахты одинъ рабочій, нагнувшійся до половины въ шахту.

Когда бадью съ рабочимъ притянули кверху, онъ—сказалъ:—воды много.

Пришелъ Парамоновъ, который былъ нарядчикомъ на этомъ рудникѣ.

— Сажень воды-то,—сказали ему рабочіе.

— Ахъ, будь онъ проклятъ, этотъ Подосеновъ? Ну, што я стану дѣлать? Выручайте братцы.

— Качать надо, да толку-то что? сказалъ Токменцовъ.

— Да этта и руды-то нѣту-ка, потому ишо до Пасхи покинули шахту-то,—сказалъ другой рабочій.

— Будьте вы прокляты! сказано, тутъ велѣно робить.

— Поди-ка, влѣзай, чортъ ты послѣ этова!.. Сажень глубины вода-то.

— Поди-ка, ловко ночью-то. А што твои фонари? Сичасъ погаснетъ, потому сыро и выходъ одинъ, а шурфы старые залило,—сказалъ Токменцовъ.

Думалъ, думалъ Парамоновъ, видитъ, что рабочіе правы, работать въ шахтѣ нельзя, поругался и сказалъ рабочимъ:

— Ну, ино погодите. Да не спать! задеру.

— Ну!

Парамоновъ ушелъ, а рабочіе, немного погодя, легли на землю и скоро заснули. Парамоновъ розыскалъ около горы въ балаганѣ Подосенова, но тотъ спалъ.

— Не безпокой ево, спитъ, пьянъ тожно,—отозвался караульный.

За рудничными работами смотрѣлъ на Петровскомъ рудникѣ штейгеръ Подосеновъ, который дослужился до этой должности изъ насыщика (фабричнаго рабочаго). Сперва онъ какъ-то угодилъ приказчику, потомъ женился на дочери уставщика и вскорѣ сталъ самъ нарядчикомъ, т. е. обязанъ былъ находиться постоянно на работахъ при рудникѣ, назначать рабочихъ по приказаніямъ главной конторы на рудничныя работы: столько-то человѣкъ въ шахту на мелкія работы, и наблюдать, чтобы рабочіе были на своихъ мѣстахъ. Потомъ его сдѣлали надзирателемъ: онъ былъ теперь второе лицо послѣ приказчика, но и эта должность ему не понравилась и онъ выпросилъ себѣ должность штейгера. Въ этой должности онъ былъ уже начальникъ надъ рабочими въ рудникѣ, все равно, что горный смотритель-инженеръ: указывалъ рабочимъ, гдѣ бить шурфъ, гдѣ начинать шахту, и несмотря на то, что онъ не изучалъ геологіи и минералогіи, онъ по практикѣ имѣлъ кое-какія свѣдѣнія въ горномъ дѣлѣ. Сегодня его ужасно взбѣсила гора. Уже двѣ съ половиною недѣли работали въ ней и все попадалось только немного желѣзной руды. Въ случаѣ надобности онъ имѣлъ право добывать руду посредствомъ пороха, т. е. ломать гору, но порохъ онъ берегъ, наживая отъ него деньги. Теперь онъ рѣшился зарядить одинъ уголъ въ шурфѣ (коридоръ въ горѣ, идущій отъ шахты по разнымъ направленіямъ до другихъ шахтъ). Бокъ горы разорвало, и тутъ-то въ одномъ мѣстѣ онъ увидалъ широкій пластъ мѣдной руды, но и тутъ не могъ заключить, далеко ли внутрь пройдетъ этотъ пластъ и не придется ли начать шахту съ поверхности горы. На это впрочемъ онъ долженъ былъ просить разрѣшенія управляющаго, который хотя и былъ горный инженеръ, но на рудники ѣздилъ рѣдко и дралъ Парамо-

нова и Подосенова за неисправное исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей. Токменцова и его товарищей Парамоновъ скоро растолкалъ и послалъ на прежнюю шахту, откуда ихъ прогонялъ Подосеновъ. Спустился туда Токменцовъ съ четырьмя рабочими и четырьмя подростками, которые захватили съ собой по тачкѣ, а инструменты для рабочихъ были уже въ шахтѣ. Спустились они внизъ на разстояніи пятнадцати саженъ. Темно, душно, сыро, дышется тяжело. Ноги ступаютъ и скользятъ по доскамъ, которыя укрѣплены на сваяхъ, вбитыхъ въ землю, а подъ ними вода, зажгли кое-какъ фонарь. Этотъ фонарь повѣсили на веревочкѣ за перекладинку или крѣпь—горбину, подпиравшую срубы одной стѣны. Вся шахта отъ верху до низу, до головъ человѣческихъ была закрѣплена срубами и всѣ четыре ея стороны или четыре стѣны состояли изъ срубовъ, подпирались сваями, между которыми были пробиты и шурфы—узкими корридорчиками, узкими такъ, что можно въ нихъ пройти только одному человѣку; они тоже укрѣплены крѣпями, чтобы не обваливалась земля.

Зажгли еще два фонаря, но все-таки фонари тускло освѣщали шахту.

— Такъ какъ, братцы, начинать? — говорилъ одинъ рабочій.

— Землю-те надо оттудова долой.—Одинъ рабочій дернулъ веревку, на концѣ которой болтался колокольчикъ. Спустилась въ шахту бадья, наклали въ нее земли; опять дернули веревку; бадья стала подниматься, спустилась другая. Вверху фонарь казался звѣздочкой.

— Ломай тамъ!—крикнулъ одинъ рабочій Токменцову, указывая направо, въ узкій, низкій корридорчикъ.

— Чево!

— Во!

— Гляди, низко!

— Ну, копай съ верху! — Рабочіе кричали во все горло, но голоса ихъ какъ-будто разбивались о стѣны и звучали глухо, едва слышно. Токменцовъ ударилъ пять разъ кайломъ повыше отверстія, двое вытащили горбину, земля обвалилась, эту землю подняли къ верху; отверстіе сдѣлалось попросторнѣе.

— Ну-ко! фонарь-то!

Посмотрѣли: жила мѣдной руды. Съ часъ билъ кайломъ Токменцовъ, но выбилъ только на одну подпорку. Онъ вышелъ къ шахтѣ и закурилъ трубку, захотѣлось пить. Ему было жарко въ рубахѣ, которая вся покрылась землей; ноги промокли, ихъ кололо, голова болѣла, онъ то зябъ, то ему было жарко. Воротовые вверху то и дѣло вытаскивали землю и спускали внизъ бадьи, въ которыя ребята въ шахтѣ клали лопатами землю: двое рабочихъ пробивали стѣну въ другомъ мѣстѣ, третій крѣпилъ стѣну.

— Братцы! жилы не видать. Ахъ, песъ ее задери!—сказалъ Токменцовъ товарищамъ, посмотрѣвъ на то мѣсто, въ которое онъ билъ.

— А гляди, куда пошла — налѣво, — сказалъ одинъ рабочій, бившій другую стѣну, показывая рукой.

— Тутъ бить опасно — какъ разъ обвалится, смотри, земля-то подъ ногами какая, и въ штольню вонъ текетъ; да все ея много,—говорилъ другой рабочій, держа фонарь.

Рабочіе сѣли на горбины, лежавшія на полу, и задремали. Вода въ шахтѣ все больше и больше прибывала. Они скоро заснули сидя. Вдругъ спустился къ нимъ Подосеновъ и растолкалъ ихъ.

— Вамъ спать! Молчите ужо!

— Да тутъ робить-то нечего,—сказалъ Токменцовъ. Подосеновъ обошелъ всѣ корридоры, изъ которыхъ одинъ проходилъ на тридцать саженъ, и велѣлъ въ этомъ корридорѣ бить стѣну налѣво въ пятнадцати саженяхъ отъ шахты.

Заползъ туда Токменцовъ и сталъ бить стѣну кайломъ. Двое разворачивали сваи, одинъ парень подходилъ къ нему съ тачкой и утаскивалъ къ шахтѣ землю. Никто изъ рабочихъ не зналъ, день ли теперь или ночь, не говоря уже о часахъ. Наконецъ затряслась веревка, зазвякалъ чуть-чуть слышно колокольчикъ и стоявшіе въ шахтѣ для пріема бадьи услыхали: шабашъ! но это восклицаніе какъ-будто долетѣло изъ-за пяти верстъ и слышалось какъ шопотъ.

— Шабашъ! — крикнулъ одинъ изъ нихъ въ шахтѣ, но его голосъ, звучный на верху земли, здѣсь прозвучалъ глухо. Ребята, еле передвигая ноги, подходили къ шурфамъ и кричали тоже изо-всей силы отъ радости скорѣе выползти на свѣтъ Божій: «шабашъ!».

Одинъ по одному рабочіе выползли въ бадьяхъ на поверхность земли, а два парня по угламъ срубъ поднялись къ верху. Вы бы не узнали этихъ рабочихъ теперь: всѣ рубахи въ землѣ, мокрыя; штаны тоже мокрые, въ грязи; сапоги приняли видъ какихъ-то чурбановъ. Лица и особенно руки тоже черныя, въ землѣ. Тяжело они вздохнули, выйдя на свѣтъ Божій. Стали ѣсть хлѣбъ, потомъ ушли въ избу и легли спать, кто на нары, кто на широкія для десяти человѣкъ полати. Здѣсь теперь спало до тридцати рабочихъ и сорока подростковъ. Часу въ первомъ рабочихъ разбудили и распредѣлили на работы на верху земли: сортировать руду, откачивать воду, спускать горбины въ шахту, поднимать бадьи и т. п. На третьи сутки Токменцовъ былъ назначенъ на работу въ гору. Тамъ, въ шахтѣ, идущей прямо корридоромъ, а не въ землю въ видѣ колодца, онъ цѣлые шесть часовъ билъ стѣну, но стѣна была такая крѣпкая, что ее очень трудно было пробрать, такъ что онъ изломалъ два казенные кайла и эту ломь положилъ около своего зипуна для того, чтобы унести домой. Рабочіе отсюда могли свободно унести домой ломъ, потому что за этимъ никто не смотрѣлъ. Здѣсь работать Токменцову было лучше, потому что онъ могъ чаще выходить на свѣжій воздухъ. Но рабочіе замѣчали, что онъ хвораетъ.

Въ этотъ день около обѣда пріѣхала къ руднику верхомъ на лошади Елена. Привязавши лошадь у избы, она подошла къ руднику, гдѣ въ горѣ работалъ ея отецъ. Увидѣвъ Елену, рабочіе не давали ей проходу: они то щипали ее, то трепали по плечу и высказывали ей разныя остроты насчетъ ея лица,

пола, и разныя плоскости. Елена дѣйствовала руками и плевками.

— Нѣту здѣсь Токменцова!

— Врешь, варнакъ! здѣсь онъ!

— Ребя, тащи ее въ шахту!

Елену потащили въ шахту, но скоро вышелъ отецъ. Онъ ни слова не сказалъ рабочимъ и какъ будто не обратилъ вниманія на баловство своихъ товарищей, которые всѣ были люди женатые и имѣли дѣтей. Повидимому они шутили съ Еленой.

Токменцовъ былъ блѣднѣе прежняго, лицо похудѣло. Онъ походилъ на мертвеца. Кое-какъ передвигая ноги, опустивъ руки, онъ подошелъ къ дочери.

— Што...хлѣба принесла,—проговорилъ онъ едва слышно, охриплымъ голосомъ, и сѣлъ на одну тачку, лежавшую безъ употребленія. Сердце замирало у Елены, ноги подкашивались, морозъ прошелъ по ея тѣлу. Отецъ сидѣлъ, свѣсивъ голову и положивъ на колѣни рука на руку.

— Тятенька, голубчикъ!—сказала Елена.

— Ступай, мила дочка. Ступай.

Елена заплакала.

— Я, тятенька, малинки тебѣ принесла,—проворила она.

— Не могу, мила дочка!.. Тошнитъ.

— Тятенька!

— Баню бы надо...

Токменцова окружили человѣкъ шесть рабочихъ.

— Токменцовъ!—сказалъ одинъ.

— Иди, пора! нечего лытать-то,—сказалъ другой.

— Не могу, братцы... Подняться не могу...

Пришелъ Подосеновъ.

— Ты зачѣмъ? Пошла прочь!—крикнулъ онъ Еленѣ и ударилъ ее по шеѣ.

— Ты не дерись, свинья! Я не къ тебѣ пришла.

— А ты што не робишь? лытать што ли захотѣлъ? —крикнулъ Подосеновъ на Токменцова.

— Лихоманка съ нимъ! Смотри, трясетъ!—сказали двое рабочихъ.

— Я ему дамъ лихоманку. Пошелъ! Вотъ въ очередь смѣню, дрыхни.

Токменцовъ кое-какъ всталъ, его пошатнуло и, кое-какъ передвигая ноги, шелъ къ шахтѣ. Елена постояла немного и пошла къ лошади. Когда она садилась на лошадь, то вдругъ услыхала крикъ съ горы.

— Дѣвка, а дѣвка!

— У!!—откликнулась Елена.

— Бѣги сюда!

Соскочивъ съ лошади, Елена побѣжала къ шахтѣ. Отецъ лежалъ навзничь, изъ носу и рта шла кровь. Елена стала, какъ статуя. Въ глазахъ помутилось, она ничего не видѣла, ничего не понимала.

— Ну, чево стоишь, дура! Ребята, тащите его прочь!—крикнулъ Подосеновъ. Двое рабочихъ подняли Токменцова, дотащили до руднаго двора и тамъ положили его въ телѣгу.

— Умеръ? — спрашивали рабочіе, окружившіе телѣгу.

— Шевелится...

— Осподи! Экое наказанье эта жизнь!..—говорили крестясь рабочіе.

Елена плакала.

— Ну, дѣвка, не воротишь. Вези ево въ ошпиталь... Вотъ жизь-то!

— Подожди, штейгеръ бумагу дастъ.

Немного погодя подошелъ къ толпѣ штейгеръ съ запиской и, давъ ее одному рабочему, велѣлъ везти Токменцова въ госпиталь. Тронулись. Елена сидѣла около отца, который лежалъ на спинѣ съ открытыми глазами и съ сложенными на груди руками. Онъ тяжело вздыхалъ, кашлялъ и, какъ только онъ кашляетъ, начинаетъ сочиться изъ открытаго рта кровь.

— Тятенька!—говорила Елена. Отецъ молчалъ и даже не шевелилъ глазами.

— Господи! дай ты ему здоровья! — молилась Елена, смотря на лицо отца, и плакала. Провожатый мало заговаривалъ съ Еленой, она говорила, сама не зная что.

Сдалъ рабочій Токменцова въ госпиталь, стащили его въ какую-то не то избу, не то съѣзжую съ грязнымъ поломъ, пропитанную кислымъ воздухомъ, положили его на кровать и покрыли рогожей. Кругомъ кровати Токменцова было нѣсколько другихъ, на которыхъ лежали тоже рабочіе, двѣ женщины и пять подростковъ; они стонали и охали. Это была единственная палата для больныхъ рабочихъ на двадцать восемь кроватей, на которыхъ лежали одержимые разными тяжелыми болѣзнями и почти никогда не выздоравливали. Были еще двѣ палаты, но тамъ лежали въ одной мужчины, въ другой женщины изъ приказныхъ и должностныхъ людей. Это называлось чистою половиной.

Елена хуже этого мѣста нигдѣ не находила. Ей не хотѣлось уходить отъ отца, но ей велѣли идти. Какъ полоумная пришла она къ Степанидѣ Ивановнѣ, разразилась ревомъ и долго не могла Степанида Ивановна добиться отъ нея толку.

— Да чтой-то съ тобой?

— Ой, матушка, голубушка...

— Да говори!

— Отецъ... въ ошпиталь свезли.

Не говоря ни слова, Степанида Ивановна побѣжала въ госпиталь, но Гаврила Ивановичъ лежалъ на кровати уже мертвый...

А между тѣмъ въ заводѣ идетъ суета. Сегодня канунъ Успенья. Женщины моютъ полы, чашки, спорятъ о томъ, что лучше завтра состряпать, тащатъ изъ погребовъ корчаги съ пивомъ, вынимаютъ изъ сундуковъ завѣтныя платья, считаютъ накопленныя въ годъ копѣйки, бѣгаютъ изъ дома въ домъ, ворчатъ, топятъ бани. Вотъ и мужчины стали собираться въ заводъ и парятся въ баняхъ. Работы прекратились. Завтра розговѣнье и въ Осиновскомъ заводѣ большой праздникъ.

КОНЕЦЪ.

Между людьми.

Мнѣ нравится ходить въ кабачки, какихъ въ Петербургѣ очень много, и нравится ходить преимущественно въ многолюдные, находящіеся на многолюдныхъ улицахъ, гдѣ живетъ рабочій народъ, также нравится ходить и въ дешевенькіе трактиры, гостинницы, куда по вечерамъ и въ будни, подъ праздникъ и въ праздники, стекается отвести душу простой народъ. Подите вы въ воскресенье Апраксинымъ переулкомъ между Садовой и Фонтанкой,—и вы увидите много рабочаго народа, который то стоитъ кучками, то сидитъ въ разныхъ мѣстахъ, то заходитъ въ питейныя и трактирныя заведенія. Изъ этихъ заведеній слышатся крики, пѣсни и пляски, и вамъ придетъ въ голову: «экой этотъ народъ пьяница!». Но не такъ заключаю я.

Не помню, котораго числа февраля, или марта мѣсяца 186* г. я зашелъ въ одинъ дешевенькій трактиръ. Выпивъ рюмку водки, я сѣлъ къ столу и закурилъ папироску. Народу было не то чтобы много, но для этого трактира достаточно. Пѣсни и пляски рабочихъ и мелкихъ торгашей слышались даже на улицѣ, поэтому легко себѣ представить читателю, что значатъ пѣсни и пляски въ самомъ трактирѣ—а это знаетъ, я думаю, каждый житель Петербурга. Но кромѣ этого, въ трактирѣ много было спорщиковъ, которые, сидя за столами, выпивали очищенную, крымскую или наливку, закусывая огурцами, рѣдькой или просто кускомъ хлѣба. Было много и такихъ, которые сидѣли по-одиночкѣ: недалеко отъ меня сидѣлъ человѣкъ въ чуйкѣ, покачивался и что-то бормоталъ; возлѣ него сидѣлъ человѣкъ въ армякѣ и несвязно выговаривалъ: «въ органъ заиграй!.. заиграй!.. пяти цалковыхъ не пожалѣю!.. всѣ отдамъ...». Сценъ много; различныя эти сцены часто доходятъ до дракъ, и жалко становится за человѣка, да ничего тутъ не подѣлаешь, и всякое насиліе для того, чтобы остановить пьянство, будетъ напрасно. Почему это такъ,—мы увидимъ дальше.

За однимъ столомъ со мной сидѣлъ человѣкъ лѣтъ двадцати шести. Такихъ людей мы видимъ постоянно и не обращаемъ на нихъ никакого вниманія. Первое, что бросается въ глаза—это растрепанные волосы, блѣдное лицо, разбитая бровь. Надѣто на немъ суконное пальто, грязное, продранное въ разныхъ мѣстахъ, изобличающее его въ томъ, что онъ или драться любитъ, или его бьютъ. Пальто на немъ не сходится; поэтому полы пальто лежатъ на полу и видится грязная холщевая рубаха и сѣрыя тиковыя коротенькія брюки; на ногахъ что-то въ родѣ калошъ. Но онъ еще не пьянъ. Положивши руки на столъ, лѣвую на правую, и сжавши немытые съ недѣлю кулаки, онъ зорко наблюдаетъ за людьми своими сѣрыми глазами и, кажется, хочетъ вмѣшаться въ разговоры, да сдерживается. Я замѣтилъ, какъ онъ посмотрѣлъ на меня, когда я вошелъ въ трактиръ, какъ выпилъ рюмку водки, и строго взглянулъ, когда я сѣлъ... Ему, какъ видно, хотѣлось заговорить со мной, но я уклонялся отъ этого, а онъ не начиналъ. Вдругъ онъ сказалъ мнѣ:

— Одолжите мнѣ, если есть, папироску!

Я далъ. По произношенію я затруднился заключить: рабочій ли онъ, или изъ чиновнаго класса.

— Не повѣрите ли, какъ хорошо здѣсь.

— Почему?

— Народъ хорошій. Славный народъ... Выпьемте.

Мы выпили по рюмкѣ.

А въ сосѣдней комнатѣ какой-то господинъ настраивалъ на гитарѣ: «во саду ли въ огородѣ дѣвица гуляла» и другія пѣсни, и подъ эту игру публика плясала и пѣла. Вдругъ къ моему сосѣду подошелъ здоровенный мужчина въ красной рубахѣ и въ синихъ выбойчатыхъ штанахъ. Онъ былъ полупьянъ. Ударивъ по плечу сосѣда, онъ сказалъ:

— Петька! спой «возлѣ рѣчки».

— Не охота.

— А, чтобъ те!... выпить што ли хошь?

Нѣтъ...—Въ голосѣ его слышалось отчаяніе.

Мужчина принесъ къ нему косушку перцовки. Выпили, и мой сосѣдъ ушелъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ плясали. Слышу, кто-то поетъ басомъ «возлѣ рѣчки» правильно, хорошо, съ чувствомъ, то повышая, то понижая голосъ, какъ будто бы онъ былъ въ пѣвчихъ. Пѣли сначала и рабочіе, но потомъ перестали, а пѣлъ только мой сосѣдъ, подъ аккомпаниментъ гитары.

— Молодецъ, Петька!..—закричали рабочіе по окончаніи пѣсни и просили его спѣть другую. Я ушелъ.

Еще раза два приходилось мнѣ видѣть его въ теченіе двухъ недѣль въ трактирѣ и даже разъ я видѣлъ его съ гитарой, на которой онъ игралъ порядочно. Потомъ я его не видалъ долго. Однажды прихожу я въ Обуховскую больницу, гдѣ лежалъ одинъ мой товарищъ. Рядомъ съ его кроватью лежалъ человѣкъ, покрытый простыней, и около этой кровати суетились служителя и фельдшеръ.

— Вотъ и со мной то же будетъ!—сказалъ мнѣ товарищъ.—Еще часъ тому назадъ говорилъ, а теперь лежитъ мертвый.

— Кто такой?

— Канцелярскій служитель Кузьминъ... Его привезли сюда изъ квартала едва живого: пьянствовалъ все.

Открыли простыню и что же? Я увидѣлъ того самаго Петьку, который мѣсяца два тому назадъ сидѣлъ за однимъ столомъ со мной, пилъ со мной водку и потомъ пѣлъ... Жалко мнѣ стало его. Я разсказалъ объ немъ товарищу.

— Онъ мнѣ подарилъ тетрадку. Въ ней написано, какъ онъ жилъ здѣсь въ Петербургѣ. Мнѣ ее не надо, возьми.

Вотъ что разсказывалъ про себя Кузьминъ.

I.

Зовутъ меня Петромъ Иванычемъ Кузьминымъ. Воспитывали меня родной братъ моего отца и его жена, которыхъ я называлъ, какъ они меня учили, сначала тятенькой и маменькой, а какъ выросъ больше—папенькой и маменькой. Теперь же въ письмахъ къ нимъ, я ихъ называю уже папашей и мамашей.

Мать моя, какъ говорятъ мои воспитатели, умерла черезъ 40 недѣль послѣ моихъ крестинъ, бывшихъ на третій день по моемъ рожденіи. Поэтому я не помню ее; портрета же ея я никогда не видѣлъ. О моихъ отношеніяхъ къ матери вотъ что разсказывала тетка, когда ей хотѣлось похвалиться своей добротой.

— Мать твоя, какъ теперь помню, лежала въ больницѣ въ голубенькомъ ситцевомъ платьишкѣ, и какъ только я принесу тебя къ ней, ты и замашешь рученками и заревешь. Возьметъ тебя мать на руки, ты глядишь такъ какъ-то весело глазенками и слюни у тебя бѣгутъ по губамъ. Ничего ты не понималъ, безрогая скотина, а тоже что-то было у тебя такое, что ты не ревѣлъ, когда тебя брала мать на руки. А возьметъ тебя другой, ты заревешь; даже если и я возьму тебя отъ матери, ты долго ревешь и грудь сосать не хочешь...

Могу вамъ положительно сказать, что я, кажется, началъ понимать съ третьяго или четвертаго года, потому что я кой-что помню за это время, а раньше я былъ положительно глупъ и такая же безтолочь, какъ кукла, только живая кукла.

Когда ужъ я сдѣлался рослымъ мальчишкой и навидался разныхъ ребятъ годовалыхъ, я удивлялся: неужели и я былъ такой же соплявый, ревунъ и безтолочь? Я сравнивалъ этихъ годовалыхъ людей съ годовалыми кошками и собаками, и мнѣ почему-то досадно было, что кошки и собаки въ это время лучше понимаютъ, чѣмъ годовалый человѣкъ; по крайней мѣрѣ съ ними возни нѣтъ. И неужели, думалъ я, такъ же мучились и со мной, какъ мучатся и съ этими ребятами, такъ же колотили за ревъ, какъ и ихъ? Тетка это подтверждала.

И то, что я видѣлъ и что я дѣлалъ на четвертомъ году, я помню очень плохо. Я помню только то, что особенно произвело на меня впечатлѣніе: напр., я помню, какъ одинъ разъ ночью меня разбудили стукотней и крикомъ мои воспитатели. Они бѣгали и кричали: пожаръ! пожаръ! И дѣйствительно, горѣлъ сосѣдній домъ. Я въ испугѣ дрожалъ и ревѣлъ. Думалъ ли я что-нибудь въ это время—не знаю, а помню хорошо, что я кричалъ на весь домъ и держался руками за платье тетки такъ крѣпко, что когда она меня стала бить и отрывать отъ себя, я порвалъ у нея платье и снова вцѣпился за него зубами такъ плотно, что укусилъ даже тетку въ какое-то мѣсто... Помню, какъ я въ первый разъ смотрѣлъ: какъ идетъ ледъ на рѣкѣ, какъ появился первый пароходъ,—и удивлялся всему этому.

Помню, что я былъ большой баловникъ и ѣлъ очень много. Только пробужусь и кричу: ись! ись! Поставятъ самоваръ—я уже и лѣзу въ шкафъ, достаю чашку и иду къ теткѣ: мама, ись! Это очень забавляло дядю и тетку, но они старались всячески отучить меня отъ обжорства, такъ какъ я просилъ ѣсть разъ по десяти въ день. Жилось мнѣ какъ-то не скучно: я или игралъ съ дѣтьми нашихъ постояльцевъ, или съ кошкой, или съ собакой, или терся при теткѣ, стараясь перенять ея стряпню, или заглядывалъ, забившись на стулъ, какъ дядя пишетъ что-то на бумагѣ... Вижу я, что сначала на бумагѣ много мѣста пустого, а какъ поведетъ пальцами съ перомъ—и сдѣлается ровная черточка, и много-много будетъ этакихъ черточекъ! Сначала я только удивлялся этому, а потомъ мнѣ почему-то смѣшно становилось, какъ дядя пишетъ, пишетъ и выругается, а потомъ скоблить начнетъ.

— Чему ты гогочешь, песъ!—закричитъ дядя. Я того пуще засмѣюсь. Дядя прогонитъ меня, а я опять зайду къ нему тихонько сзади. Сначала крѣплюсь, а потомъ и прысну со смѣха... Мнѣ хорошо казалось, какъ дядя ворчитъ; мнѣ играть хотѣлось съ нимъ и я толкалъ его въ правое плечо, за что мнѣ больно приходилось. Любилъ я послѣ этого представлять дядю, или вѣрнѣе—мнѣ хотѣлось ухитриться сдѣлать такъ же, какъ дѣлаетъ и онъ. Возьму я кусочекъ бумаги, пойду къ столу и начну чертить на бумагѣ перомъ съ чернилами; но у меня выходило все криво, все дуги, да колеса, да круги, и меня это очень забавляло. Кончу я свою работу и кажу теткѣ или кому-нибудь въ восторгѣ; тѣ Меня хвалятъ. Но я часто надоѣдалъ своей работой теткѣ и она ругала меня за то, что я бумагу порчу, руки и рубашку мараю въ чернилахъ. Отъ меня стали прятать чернила и карандаши, я сталъ слюнями писать или черкалъ, гдѣ попало, углемъ.

Весьма хорошо казалось мнѣ, какъ меня тетка возила зимой въ пошевенькахъ или санкахъ, когда она ходила на рынокъ или въ гости. Я не любилъ ходить пѣшкомъ; если оставляли меня дома, я кричалъ и

боялся, думая, что меня утащитъ черный мужикъ-трубочистъ, посадитъ меня въ мѣшокъ и броситъ въ прорубь. Этимъ меня пугали тетка и ея родные. Теткѣ хотѣлось показать людямъ *своего сына*, а я не хотѣлъ идти: нести меня тяжело ей было; вотъ она и возила меня въ санкахъ; да ей и жалко было меня:— «куда ему еще ходить! малъ очинно!—Такъ же мнѣ хорошо казалось, когда у насъ собирались гости, или когда я бывалъ въ гостяхъ. Чего-то чего тутъ не было! Поютъ пѣсни, говорятъ какъ-то весело, кричатъ, ругаются. Я тогда, одѣтый въ новую рубашку и новые штаны, которые тетка называла штаниками, сидѣлъ смирно на стулѣ, глядѣлъ на всѣхъ или на того, кто мнѣ больше нравился,—и удивлялся. Если бывали дѣти, я игралъ съ ними въ углу скорлупами отъ орѣховъ. Но больше всего мнѣ нравилось, когда меня дарили пряниками и сластями. Тетка давно старалась пріучить меня къ тому, чтобы я благодарилъ за подарки, но я тугъ былъ на это.

— Что же ты, балбесъ, не говоришь: покорно благодарю, молъ.

Я молчу. Мнѣ совѣстно; я щиплю рубашку, смотрю въ уголъ.

— Ну, говори!

Молчу. Чувствую, что плакать хочется, а думаю: не скажу!

— Экой упрямой! Ну, впередъ не получишь. Знаешь ты: ласковое телятко двухъ матокъ сосетъ, а упрямое одной не видитъ,—и пойдутъ, и пойдутъ говорить наставленія, а я куксюсь и злюсь: а не скажу! А все-таки хочется больше набрать сластей. Бывали случаи, что я, когда проворчатся и уже не подаютъ сластей, вдругъ скажу: «покорно благодарю» чуть-чуть слышно. И совѣстно мнѣ, и чувствую, что щеки горятъ, и легче кажется, а самъ все-таки думаю: ну и чортъ съ вами! вслухъ все-таки не скажу. Право не скажу!..

Тетка любила разсказывать каждому новому знакомому, а старымъ знакомымъ въ сотый разъ, про моихъ настоящихъ родителей. Надо замѣтить, что незнакомые тетки почитали меня за ея сына, а знакомые ея не вѣрили ей, когда она говорила, что я воспитанникъ, и начинала разсказывать цѣлую исторію: кто была мать моя, отецъ, какъ она умерла и пр. Мнѣ досадно было напримѣръ вотъ это: пойду я куда-нибудь съ теткой по городу (у тетки много знакомыхъ: знакомые были все люди бѣдные, и штукъ тридцать изъ нищей братіи), попадется какая-нибудь женщина и смотритъ на меня.

— Это твой сынокъ-то?

— Како мой; на воспитаніе взяла.

— Ой ты матка! не врешь ли.

— Сичасъ умереть.

— Да чей же онъ такой?

— Братнинъ. Женили брата пьяницу; а мать умерла.

— Эко диво! Отъ чего же она умерла-то?

— Да съ пожару. Испугалась, знаешь, и захворала. Вотъ мнѣ на шею и бросила.

— Ну, матка, выростетъ, возблагодаритъ.

— Ну ужъ, дожидайся! Онъ и теперя такой, что бѣда.

— А ты, дитятко, слушайся маменьки. Слушаться надо. А у тебя, матка, нѣту-ка своихъ-то дѣтей?

— Нѣту; да куда съ ними!..

— Все же родной-то лучше.

Я замѣчалъ, что тетка дѣлала глаза какъ-то строго при этихъ словахъ, и думалъ, что ей это не по нутру. Исторія же моихъ родителей была такого рода: оба они были духовнаго званія, да и другіе родственники наши тоже были этого званія, но имъ не посчастливилось и они вышли въ свѣтскіе очень рано. Такъ, дѣдъ нашъ былъ дьячокъ, а дядя на четырнадцатомъ году былъ уже почтальономъ; отецъ мой былъ дьячкомъ. Онъ воспитывался у дяди, такъ какъ отецъ его былъ очень бѣдный человѣкъ и семейный. Онъ рано началъ пить водку и рано спился совсѣмъ. Дядя и молодая его жена, желая избавиться отъ него и желая сдѣлать его годнымъ человѣкомъ, т. е. чтобы онъ не пилъ водку, задумали женить его. Вотъ что говорила про эту женитьбу тетка:

«Ну и стала я сбивать его жениться. Послушай, говорю, братъ, женись!

— На кой мнѣ лѣшій жениться?—говоритъ онъ.

— Водку не станешь пить.

— Не знаю... А што?

— Право женись.

— А жить-то какъ?

— Въ почтальоны супай.

— Ну, и то ладно. А тсамъ послѣ этого пойдетъ слышь ты, и налижется какъ стелька...

«Была у меня на примѣтѣ дѣвушка, сирота дьяконская. Смирная такая, красивая, рукодѣльница. Жила она тоже у чиновника, рядомъ съ нашимъ домомъ. Ну и посовѣтовала я ей выйти замужъ за брата. Долго она не шла; боюсь, говоритъ, пьяница женихъ-то, да и ни у него, ни у меня ничего нѣтъ. Ничего, говорю, мы поможемъ. Ну и согласилась. Братъ ходилъ къ ней двѣ недѣли и водку не пилъ въ это время. Золото сталъ человѣкъ. Только вели-то они себя какъ чужіе. Придетъ онъ къ ней, поклонится и скажетъ: здравствуйте...

— Здравствуйте,—отвѣтитъ она и покраснѣетъ. Она сядетъ на стулъ къ столу и начнетъ вышивать, а онъ пойдетъ въ кухню, трубку курить. Накурится, посидитъ на диванѣ и пойдетъ домой. Придетъ домой онъ, я и спрашиваю его:

— Ну что, нравится?

— Ничего... ладно.

— А разговаривалъ съ ней?

— Чего говорить-то?

«Ну и велю я ему кедровыхъ орѣшковъ снести невѣстѣ на другой разъ... Такъ и женили мы его. Какъ женили, онъ и запилъ. Она, бѣдная, все плакала... все плакала... хорошо, что онъ не билъ ее и не бранилъ и изъ ея вещей ничего не пропивалъ. Да и у ней, голубушки, ничего лишняго не было. А ужъ такая-то была смирная, дай Богъ ей царство небесное!.. И стала, слышь ты, я замѣчать, что она въ тягости!.. И больно же она, голубка, плакала. Отчего, говорю, ты все плачешь?

— Не знаю,—говоритъ.

— Ну полно; онъ можетъ и перестанетъ пить.

— Да онъ дома-то рѣдко живетъ, да и со мной-то

*

рѣдко сидитъ: придетъ, завалится спать на полати; а встанетъ—наѣстся и опять уйдетъ.

«Ужъ я говорила ему, чтобы онъ ладненько жилъ съ ней; онъ только молчалъ. Поступилъ онъ въ почтальоны и хуже запилъ. Жили мы тогда въ уѣздномъ городѣ. Его перевели въ губернскій, и насъ тоже перевели. Надо намъ было ѣхать, она и родила вотъ этого балбеса. Только мы пріѣзжаемъ въ губернскій всѣ вмѣстѣ, а тамъ весь городъ горѣлъ въ это время; она испугалась и захворала. Думаю: куда мнѣ съ ней возиться, и свезла я ее въ больницу. Она и говоритъ мнѣ: возьми ты, сестричка, моего ребенка къ себѣ... Ужъ не оставь ради Бога, будь матерью... Слушаться не будетъ—на колѣни ставь. А какъ она, голубка, любила-то его (т. е. меня)! Да не далъ Богъ вѣку, умерла. Ну, думаю, куда дѣвать парня, и взяла къ себѣ... Теперь ужъ покаялась, да поздно».

Всѣмъ этимъ разсказамъ я сначала не вѣрилъ, а потомъ въ голову начинала закрадываться мысль: что же это такое въ самомъ дѣлѣ тетка говоритъ? Какая еще такая у меня была мать, и, говорятъ, какой-то отецъ есть, а я его не вижу! Врутъ, поди! И больше этого ничего не придумалъ. Мнѣ хорошо жилось: я игралъ, пилъ, ѣлъ въ волю и хотя меня крѣпко постегивали за баловство, но все-таки тетка меня и ласкала частенько въ это время.

На шестомъ году, когда я уже понималъ больше, я не то что любилъ своихъ воспитателей, но, какъ говорится, былъ привязанъ къ нимъ. Дядя меня никогда не ласкалъ, и я почему-то всегда боялся его. Тетка хоть и колотила меня, но и ласкала, кричала на меня и всячески заботилась, чтобы я былъ сытъ, цѣлъ, т. е. не порѣзалъ бы руку, и чтобы рубашка моя была всегда цѣла и чистенькая. Я кажется любилъ тетку, и какъ ни больны были ея колотушки, и какъ я ни ревѣлъ съ досады, что я самъ не смѣю дать сдачи, я все-таки любилъ тереться при ней и при этомъ что-нибудь спакостить: напр. въ квашонку съ тѣстомъ бросить что-нибудь, да такъ, чтобы она не замѣтила этого; вяжетъ она чулокъ, я петли распущу, когда она уйдетъ, а потомъ говорю, что это кошка сдѣлала; поетъ она пѣсни, и я тоже стараюсь подтягивать ей, только выходило очень плохо; начнетъ она шить, я лѣзу къ ней, тереблю ее за сережки, вдернутыя въ кончики ушей, хватаю ее за шею руками... И все это, какъ помню я, дѣлалось безсознательно, вѣроятно потому, что мнѣ хотѣлось играть. Тетки я не такъ боялся, какъ дяди, къ которому я не имѣлъ такой привязанности, какъ къ теткѣ, вѣроятно потому, что онъ дома бывалъ рѣдко, со мной ничего не говорилъ и гналъ меня прочь, если я лѣзъ къ нему. Я любилъ все, что только впервые попадалось мнѣ на глаза. Купитъ что-нибудь тетка, я смотрю, удивляюсь, разспрашиваю, стараюсь въ руки взять, на себя напялить, углемъ начернить или съѣсть,—смотря по тому, какая вещь. И мнѣ крѣпко доставалось за мое любопытство. Особенно мнѣ доставалось за книгу: «Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта», съ картинками. У дяди только я и видѣлъ эту книгу на столѣ въ переднемъ углу. Смотрѣть ее мнѣ строго запрещалось. Дядя изъ нея ничего не читалъ, и только тетка старательно каждый день стирала съ нея пыль по привычкѣ стирать пыль съ такихъ вещей, которыя ей казались дорогими. Когда дядѣ и теткѣ нечего было дѣлать, тетка брала эту книгу, ложилась на кровать къ дядѣ и просила его почитать:

— Ну-ко, читай, что тутъ?

— Уйди, стану я читать!

— Почитай, ты вѣдь у меня золото. Ахъ, если бы я умѣла грамотѣ!

— Не хочу. Мало ли что тутъ писано.

— А это что за картинка?

Я встрепенусь и подбѣгаю къ кровати.

— Ты зачѣмъ!—закричитъ на меня тетка.

Я молчу; знаю, что меня не звали, а уйти не хочется. Дядя начнетъ разсказывать теткѣ содержаніе картинки или читать; тетка повернется къ нему лицомъ, а я забьюсь на стулъ къ подушкамъ и стараюсь заглянуть на картинку. Досадно мнѣ, что картинки нѣтъ, и я протягиваю къ книжкѣ руку. Дядя замѣтитъ это и щелкнетъ меня книжкой по лбу:

— Тебѣ говорятъ, балбесъ ты эдакой, или нѣтъ? Пошелъ!

Я стою.

— Ахъ ты подлая рожа. Гдѣ ремень?

Я убѣгу.

За то, какъ останусь я одинъ дома, то вволю насмотрюсь на картинки, на листки и на переплетъ. И достанется же тогда книгѣ: мнѣ очень нравилось прокалывать иголкой или булавкой глаза изображаемымъ на картинкѣ людямъ и прокалывать также буквы, или чертить карандашемъ на листкахъ разныя каракули. Дядя, когда читалъ книгу, догадывался, что это мои продѣлки, и тетка расправлялась со мной, заставляя цѣлый день простоять на колѣняхъ въ углу. Мнѣ обидно казалось стоять, и я рѣшилъ, что лучше будетъ, если я картинки вырву изъ книги, а самую книгу брошу въ печь. Долго я хохоталъ надъ своей выдумкой и ждалъ къ тому случая. Такъ и сдѣлалъ. Разъ вечеромъ, когда дядя и тетка ушли въ гости, а меня оставили домовничать, я заперъ двери на крючекъ, подбѣжалъ къ столу, схватилъ книгу и началъ операцію. Помню, что мнѣ страшно почему-то казалось вырывать изъ книги картинки, и я думалъ: а что, если они воротятся? а если они теперь въ окно смотрятъ? Я погасилъ свѣчку, подошелъ къ окну и прилежнѣе прежняго продолжалъ свою операцію, выдирая какъ попало, лишь бы скорѣе кончить работу... Книгу потомъ я спряталъ подъ шкафъ, гдѣ лежали только старыя теткины ботинки. Дядя и тетка пришли домой поздно, когда я уже спалъ. Книги они не хватились; а тетка еще, какъ раздѣвалась, дала мнѣ конфетку, пряникъ и грецкій орѣхъ. Цѣлую ночь я не спалъ. Какъ только тетка склала утромъ въ печку дрова, я живо бросилъ книгу въ печь, но бросилъ такъ, что она свалилась на бокъ къ самой стѣнкѣ. Тетка стала затоплять печь. Она любила, чтобы у нея дрова въ печкѣ хорошо были складены; поэтому она, замѣтивъ книгу, сначала подумала, что это кирпичъ.

— Что за дьяволъ, откуда это кирпичъ? Сверху что-ли выпалъ...—и стала вытаскивать клюкой этотъ кирпичъ. Каково же было ея удивленіе, когда она

увидала свою любимую книгу безъ картинъ и съ ободранными листками!

Дядя долго меня дралъ ремнемъ за эту продѣлку.

Онъ очень любилъ картинки, но никогда не покупалъ ихъ. Разъ ему подарилъ кто-то картинку лубочной фабрики, изображающую войну. Дядя сталъ любоваться на картинку съ теткой, а я сидѣлъ въ углу. Больно меня брало любопытство посмотрѣть картинку, точно меня бѣсъ толкалъ въ бока.

— Ишь дьяволъ! — Смотри-ко, это, поди, въ эполетахъ-то генералъ?—говорила тетка.

— Какъ же.

— А это?

— Ты смотри: у этого орденовъ сколько,—и это генералъ.

— Экое счастіе... Гляди же, сколько онъ людей-то давитъ! Смотри, копыто-то на трехъ головахъ стоитъ... А саблей-то вонъ пятерыхъ зацѣпилъ...

Между тѣмъ я уже подкрался къ нимъ, приподнялся на пальцы ногъ,—не видать; зашелъ съ боку.

— Ты что?—крикнулъ дядя.

Я отошелъ немного и скорчилъ глаза. Тетка пожалѣла меня и подозвала къ столу. Я ничего не понималъ въ картинкѣ и, когда дядя взялъ ее въ руки, я хотѣлъ еще посмотрѣть и рванулъ ее такъ, что одна половина ея осталась въ моей рукѣ. За это дядя такъ ударилъ меня по головѣ, что я грохнулся объ полъ; изо рта пошла кровь.

Съ этихъ поръ я крѣпко не взлюбилъ дядю.

Меня учили молитвамъ, учили молиться утромъ, вечеромъ, передъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ нихъ учили уважать и почитать старшихъ, любить тетку и дядю, называть ихъ родителями, и всему этому учила меня тетка. Но молитвы я зналъ плохо, а зналъ больше пѣсенъ и сказокъ; тетку и дядю я уважалъ, боялся, и такъ какъ я былъ малъ, то безъ ихъ спросу ничего не могъ сдѣлать, и это безсиліе свое я испытывалъ на себѣ каждый день. Старшихъ я не могъ любить всѣхъ, а любилъ только тѣхъ, которые были ласковы ко мнѣ; съ кѣмъ хороши были мои воспитатели, кого они любили, того и я называлъ хорошимъ человѣкомъ и къ тому лѣзъ безъ церемоніи. Одного только я не могъ тогда понять: зачѣмъ мнѣ молиться еще за родную мать и за родного отца? вѣдь я не видалъ ихъ? Зачѣмъ молиться за отца, когда тетка называетъ его пьяницей и часто пугаетъ меня тѣмъ, что отошлетъ меня къ нему?.. Тетка мнѣ на мои вопросы или отвѣчала бранью, что я безтолочь, скотъ и пр., или говорила, что молиться нужно. Молился я вслухъ, по принужденію, такъ: умою лицо, становлюсь среди комнаты и начинаю молитву; вдругъ тетка крикнетъ: подожди, балбесъ! рано: еще чай не поспѣлъ... Я отойду, сяду въ уголъ и жду: скоро ли будетъ готовъ чай. Наконецъ чай готовъ; дядя и тетка садятся за столъ; я становлюсь посрединѣ комнаты и говорю вслухъ молитвы. Всѣ молчатъ. Если я ошибусь, тетка поправитъ меня.

Большихъ усилій стоило ей растолковать мнѣ, что у меня была родная мать, что не она, тетка, родила меня, а только воспитываетъ и кормила меня по началу грудью, какъ свое дѣтище. Но мнѣ тогда все равно было: родная она мнѣ мать, или нѣтъ. Я только зналъ и понималъ, что она меня кормитъ, и что за обиду, нанесенную мнѣ уличными мальчуганами, которые нерѣдко тревожили мой носъ до крови, всегда заступалась; значитъ, я былъ не чужой ей. Я плохо понималъ тогда, что̀ значитъ мать, отецъ и сынъ, и только гордился иногда тѣмъ, что живу у такихъ людей, которыхъ любятъ другіе люди, и часто важничалъ. Напримѣръ, бывало придетъ какой-нибудь нищій къ намъ, я и говорю ему: «дома нѣту». А самъ думаю: «вотъ и ничего не дали. Маменька велѣла подавать грошики, а я не подамъ тебѣ, себѣ возьму». Придетъ къ дядѣ проситель какой-нибудь, да дядя спитъ, я и говорю ему: «спятъ еще». Знаю я, что нужно сказать ему: подождите или сядьте, а я думаю: «постоишь, не великъ баринъ...». Если мнѣ давали подачки, я думалъ, что мнѣ такъ и слѣдуетъ давать подачки, потому что я сынъ ихній, а этотъ мнѣ чужой. То, что я былъ не чужой дома, я зналъ хорошо, и если слышалъ, что дядю кто-нибудь ругаетъ, пересказывалъ теткѣ да дядѣ, и дядя говорилъ, что онъ отомститъ тому человѣку чѣмъ-нибудь...

Съ каждымъ днемъ мнѣ тяжелѣе становилось бывать дома. Я дома ужъ не баловалъ, но озорничалъ и нарочно дѣлалъ то, что не нравилось теткѣ, которой я не могъ ничѣмъ угодить. За всякую неловкость она бранила меня, кричала; я сначала злился, а потомъ плакалъ, сознавая, что меня напрасно ругаютъ. Родственники мои, дѣти однихъ со мною лѣтъ, знали, что я терплю много, и постоянно говорили мнѣ: «зачѣмъ ты боишься ихъ? Вѣдь они не родные тебѣ». Я сначала отмалчивался и не жаловался на нихъ, а потомъ, слушая каждый день ихъ совѣты, сталъ размышлять въ тяжелыя минуты: «а зачѣмъ я боюсь ихъ? Ну, и не стану бояться...». Тетка скажетъ мнѣ: «становись на колѣни!». Я не становлюсь!

— Тебѣ говорятъ! — крикнетъ она. — Это что значитъ?—произнесетъ она съ изумленіемъ.

Я не слушаюсь.

— Вы не родная мнѣ...—скажу я.

Тетка озлится, схватитъ ремень и начнетъ неистовствовать по моей спинѣ. Но я не просилъ прощенія и не выдавалъ своихъ друзей... Эти сцены стали повторяться часто; меня наказывали больно, а я день ото дня становился злѣе и упрямѣе. Поставятъ меня на колѣни,—я цѣлый день простою и не попрошу прощенія; не накормятъ меня — я самъ украду хлѣба... И какъ же я въ это время ненавидѣлъ своихъ воспитателей!..

Больно мнѣ было слышать то, что меня попрекали моимъ роднымъ отцомъ, говоря, что мой отецъ никуда негодный человѣкъ, что дядя держалъ его прежде у себя изъ милости, дѣлалъ ему много добра, за которое онъ отплачивалъ ему различными непріятностями. Тетка молила Бога, чтобы я захворалъ и умеръ; а дядя корилъ тетку, что она женила его брата и что она одна виновата въ томъ, что я родился и живу теперь у нихъ, а пользы отъ меня никакой не выходитъ кромѣ того, что я выхожу очень дрянной мальчишка: не слушаюсь ихъ, грубьянъ и начинаю поворовывать.

Оба они требовали, чтобы я дѣлалъ то же, что дѣлаютъ и они: говорилъ съ толкомъ, не игралъ съ ре-

бятами, сидѣлъ смирно на стулѣ и исполнялъ всѣ ихнія приказанія безъ ошибки. Но могъ ли я это сдѣлать? Меня манили игры товарищей; мнѣ завидно было, что другія дѣти живутъ какъ-то вольнѣе. Если же я видѣлъ, что ихъ обижали не хуже меня, били еще хуже,—я какъ-то радовался...

Все-таки я любилъ тетку болѣе дяди. Дядя бывалъ дома рѣдко. Утромъ вставалъ онъ рано; рано мы пили чай, за чаемъ шли разсужденія о томъ, что состряпать или испечь сегодня; онъ разсказывалъ о дѣяніяхъ своихъ сослуживцевъ, она ему поддакивала или говорила про какую-нибудь сосѣдку. Я сидѣлъ въ углу, какъ посторонній человѣкъ, считая глотки дядины и теткины и дожидаясь, когда мнѣ подадутъ чашку чая. Выпивъ чашку, я подходилъ къ дядѣ и теткѣ и цѣловалъ у каждаго руку. Дядя ничего не отвѣчалъ на мою благодарность, а тетка все что-нибудь да замѣчала: «ты не стоишь того, чтобы тебя поить чаемъ! Это тебѣ послѣдній разъ», и т. п. Когда дядя уходилъ изъ дома, я долженъ былъ или сидѣть смирно у окна или чистить вареный картофель, приносить теткѣ воду, выносить помои и за неумѣлость получалъ подзатыльники; но за то она кормила меня сдобнымъ печеньемъ и разными сластями, — произведеніями своихъ рукъ,— раньше, чѣмъ сама пробовала; мыла меня въ это время въ банѣ, чесала и помадила голову и брала съ собой въ гости... Вотъ за это-то я и любилъ ее больше всего на свѣтѣ. Отчего это? Оттого вѣроятно, что она сердилась на меня и колотила меня безсознательно, не умѣя иначе научить меня хорошему, пріучить къ своему характеру, сдѣлать изъ меня подобіе себѣ и мужу, и ей все-таки жалко было меня тогда, когда она не суетилась, а сидѣла молча за работой. Не даромъ же она такъ лелѣяла меня, такъ ухаживала за мной четыре года, какъ за роднымъ дѣтищемъ...

— И, матка! Вѣдь мнѣ жалко его. Хоть и побьешь и побранишь его, да опять-таки и пожалѣешь... Авось, какъ станешь добромъ-то обращаться, вспомянетъ и меня,—говорила она какой-нибудь своей подругѣ по вечерамъ, находясь въ веселомъ настроеніи.

— Бить-то его не надо.

— Не могу, нравъ ужъ такой у меня... И сама я не знаю, какъ будто я люблю его. А за что, спрашивается, мнѣ любить-то его?..

— Ну вотъ: вѣдь маленькова взяла...

— Упрямъ только больно: весь въ мать.

— Ну, выростетъ, за все отблагодаритъ.

— Вотъ ужъ!.. по шеѣ бить будетъ.

— Эй ты, женихъ, поди-ка сюда!.. Будешь ты любить маменьку?—спрашивала меня подруга тетки,

— Буду.

— Ну, не ври: ужъ коли ты теперь непочтителенъ, что послѣ-то будетъ?

Мнѣ досадно было слышать такія слова; въ эти минуты я готовъ былъ Богъ знаетъ что сдѣлать для тетки, чтобъ она меня похвалила.

Когда дядя меня билъ,— а онъ билъ рѣдко, да мѣтко,—тетка всегда заступалась за меня. Нужно мнѣ что-нибудь, она поворчитъ-поворчитъ и выпроситъ у дяди.

Была у меня бабушка по теткѣ. Ей было въ это время уже годовъ семьдесятъ; но она была здоровая женщина. Утромъ она пекла калачи, днемъ эти калачи продавала на рынкѣ, а вечеромъ вязала или шила. На рынокъ я ходилъ каждый день то за картофелемъ, то за капустой и т. п. и всегда подходилъ къ бабушкѣ. Она давала мнѣ калачикъ и мѣдную гривну на пряники. Вечеромъ около нея собирались ребята и вдѣвали въ иголку нитку, когда она что-нибудь кропала. Она очень любила насъ, маленькихъ ребятъ, говорила такъ ласково. Мы любили слушать ея пѣсни, которыя она пѣла на тонъ убогаго Лазаря, котораго поютъ нищіе на кладбищахъ въ радоницу, и какъ она разсказывала сказки!.. Всѣмъ было весело съ нею, потому что она говорила какъ-то смѣшно и постоянно смѣшила насъ своими разсказами. Она любила тетку больше всѣхъ дѣтей, а меня больше всѣхъ своихъ внуковъ.

— Бѣдная ты сирота. И пожалѣть-то тебя некому,—говорила она мнѣ.—Ишь какъ избили тебя. А ты, голубчикъ, терпи: стерпится—слюбится, говоритъ пословица. Выростешь, спасибо скажешь.

— Зачѣмъ она, бабушка, бьетъ меня?

— Ужъ я говорила ей: что, молъ, ты парня-то бьешь? креста что-ли у тебя на вороту нѣту-ка?

— Ну?

— Не буду, говоритъ, бить.

— А вотъ она бьетъ. Я и не буду слушаться ея.

— Не балуй!

— Право не буду.

— Грѣхъ. Вѣдь она все же и заступается за тебя. А ты, коли она забранится, смолчи—она и не ударитъ.

Ребята просили бабушку, чтобы она вступалась и за меня, и за нихъ, и она изъ-за насъ распекала своихъ дѣтей, которыя вымещали свою обиду на насъ и говорили бабушкѣ, что она вмѣшивается не въ свое дѣло.

На седьмомъ году дядя сталъ брать меня съ собой рыбачить. До этого времени я всегда удивлялся тому,— какъ это дядя рыбу ловитъ? Придетъ онъ съ рыболовства и приноситъ съ собой туесокъ съ живой рыбой. Тетка въ восторгѣ; дядя ругается, что сегодня плохо клевала рыба, а я засовываю руку въ туесокъ и ловлю рыбу. Мнѣ очень хотѣлось посмотрѣть, какъ онъ удитъ, но онъ всегда одинъ уплывалъ въ лодкѣ куда-то далеко. Приставалъ я къ нему, чтобы онъ меня взялъ рыбачить, но онъ не бралъ. Надо замѣтить, что дяди я очень боялся еще потому, во-первыхъ, что сама тетка побаивалась его; а это я зналъ изъ того, что онъ часто покрикивалъ на нее за щи или за то, что она не заштопала ему дыръ на брюкахъ или халатѣ, и она всегда говорила, когда его не было дома: «ахъ, какъ бы мнѣ уноровить ему!» Во-вторыхъ, я зналъ его здоровые кулаки. Когда потомъ дядя сталъ брать меня съ собой на рыболовство, я послѣ каждаго рыболовства всячески старался угодить ему и теткѣ, чтобы онъ взялъ меня снова рыбачить. Я зналъ, что если тетка попроситъ его, онъ возьметъ меня, и зналъ также то, что онъ не всегда слушалъ тетку. И дѣлалъ я ему различныя угожденія: заставитъ меня тетка чистить дядины сапоги, я старательно чищу цѣлый часъ, или до тѣхъ поръ, пока тетка

не выхватитъ у меня щетку и не ударитъ ею по моей головѣ и дочиститъ сапогъ сама. Скажетъ онъ, чтобы я шелъ копать червей, я не шелъ, а бѣжалъ, подпрыгивая на одной ногѣ, думая: «а вотъ я рыбачить пойду!» и накопаю ему что ни на есть самыхъ лучшихъ червей изъ навоза. Мнѣ очень нравилось сидѣть съ дядей въ лодкѣ и я сидѣлъ вмѣсто мебели, какъ выражался дядя, потому что дядя мнѣ не давалъ удилишка. Мнѣ нравилась большая рѣка, рыболовы, нравилось искусство дядино ловить рыбу: какъ онъ закидываетъ лесу въ воду, поплевывая предварительно на червячка, насаженнаго на удочку, какъ поплавокъ пляшетъ на водѣ, какъ дядя подсѣкаетъ удилишкомъ, какъ онъ изгибается, когда тащитъ большую рыбу, говоря, чтобы я сидѣлъ смирно, какъ эта рыба возитъ лесу, какъ дядя вытаскиваетъ ее въ лодку и какъ онъ проклинаетъ все и всѣхъ, когда не вытащитъ рыбы.

А дядя золъ былъ ругаться. Раньше этого я не слыхалъ, чтобы кто-нибудь умѣлъ ругаться такъ, какъ ругается мой дядя. Онъ ругался даже и тогда, когда говорилъ съ кѣмъ-нибудь. Онъ ругалъ все и всѣхъ, живыхъ и мертвыхъ, свиньями, дармоѣдами, а себя называлъ самымъ умнымъ человѣкомъ, котораго все и всѣ обижаютъ. Мнѣ весело было тогда, когда онъ ругался; я такъ привыкъ къ его ругани, что думалъ, что онъ только тогда веселъ, когда ругается. Я обыкновенно сидѣлъ въ носу или въ кормѣ лодки, а дядя по серединѣ и я сравнивалъ дядю съ бубновымъ королемъ—такъ ужъ онъ больно походилъ на него въ своемъ халатѣ, шляпѣ и съ трубкою въ зубахъ. Я ловилъ руками рыбу въ туескѣ, издѣвался надъ червями, при чемъ лодка качалась, дядя злился, кричалъ: «тебѣ говорятъ, или нѣтъ!..». Я присмирѣю, сижу какъ сычъ; а потомъ опять начинаю уже неистовствовать въ лодкѣ. Дядя терпитъ-терпитъ да какъ «свиснетъ» меня удилишкомъ по затылку и закричитъ:

— Я тебѣ говорилъ, или нѣтъ? Ахъ ты этакой...— и зубы у него словно трещатъ, и лицо такое сдѣлается страшное, что меня ужасъ возьметъ; я опять присмирѣю, такъ что даже и сосѣдніе рыболовы смѣются.

— Валяй ево! валяй хорошенько...

— Ишь какой, только шалитъ!

— Смотри, рыбу-то отгонитъ всю!

Дядя, какъ видно, осердится и скажетъ имъ: «не ваше дѣло!» такъ что и тѣ присмирѣютъ.

Дядя, какъ онъ самъ говорилъ, былъ злой рыбакъ. Онъ ничего не любилъ такъ сильно, какъ рыболовство, и страшно ругался, если ему въ какой-нибудь день не удавалось рыболовить. Онъ удилъ постоянно отъ елки. Елку эту онъ срубилъ въ лѣсу за двѣ версты отъ города и къ своей лодкѣ перъ ее на своихъ плечахъ, проклиная свое житье. Также перъ онъ къ лодкѣ пятипудовые камни и хвастался, что онъ силачъ. Дѣйствительно съ пятипудовыми каменьями онъ обращался довольно нецеремонно и вертѣлъ ихъ, какъ полупудовые. Къ верхушкѣ елки онъ привязывалъ веревку, которою были обвязаны два или три камня, пудовъ въ восемь или девять; къ корню привязывалъ тоже веревку длиной саженъ въ пять и наплавъ. Елку свою онъ бросалъ такимъ образомъ: сначала раздѣвался и мѣрилъ дно рѣки противъ одного мѣста, близко отъ города, и щупалъ плиту, т. е. гладкое, ровное дно. Мѣрилъ дно онъ также и багромъ. Смѣривши дно, онъ тащилъ въ лодку камни, клалъ ихъ на дощечку, положенную поперекъ носа на края лодки, потомъ клалъ лодку и веревку съ наплавомъ. Выбросивши веревку съ наплавомъ, онъ мѣрилъ дно снова, и удостовѣрившись, что здѣсь хорошо поставить елку, выбрасывалъ ее ловко изъ лодки, а потомъ бралъ за одинъ конецъ доску и опрокидывалъ ее тоже ловко въ воду; камни и елка исчезали и оставался только одинъ наплавъ. Наплавъ означалъ мѣсто елки. Отъ елки дядя считалъ лучше удить, чѣмъ отъ заѣздковъ, потому что противъ самой елки проносъ воды очень тихій и елку можно всегда перетащить, да и притомъ дядя думалъ, что съ елкой меньше возни. Часто дядю злили тѣмъ, что отрывали наплавъ отъ елки, а иногда и всю веревку; а отрывали или плоты, или суда, или городскіе ребята по ночамъ. Впослѣдствіи я самъ былъ большой охотникъ на эти штуки. Если нѣтъ наплава, дядя долго ругался, плевалъ въ воду и искалъ елку кошкой, сдѣланной изъ большихъ гвоздей на подобіе якоря, и если не находилъ елки, срубалъ новую. Если у него было свободное время, онъ всегда сидѣлъ у елки, будь тутъ громъ, дождь и валы. Онъ злился въ это время на громъ и на Илью, отъ котораго, по его понятіямъ, гремѣлъ громъ, но дождь и валы онъ любилъ. Если его сильно мочило, онъ подплывалъ къ берегу, втаскивалъ на берегъ лодку, опрокидывалъ и забивался подъ нее, выжидая, когда дождь перестанетъ идти. Послѣ дождя рыба хорошо клюетъ, говорили всѣ наши рыболовы. Дядя никогда не ѣлъ свою рыбу: онъ говорилъ, что ему жалко ѣсть ту рыбу, которую выудилъ самъ, а тетка каждый день стряпала изъ нея пироги. Это ужъ рѣдкость, когда дядя будетъ хлебать уху изъ пойманной имъ рыбы.

Дядя любилъ рыбачить одинъ, и я не знаю, зачѣмъ онъ меня бралъ съ собой: вѣроятно для того, чтобы я привыкалъ къ рыболовству, привыкалъ ко всякой погодѣ, а можетъ быть и для того, чтобы я не баловалъ дома. И я сидѣлъ въ лодкѣ, какъ кукла. Помню, что въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, въ которые я имѣлъ удовольствіе сидѣть съ нимъ въ лодкѣ, онъ не сказалъ мнѣ ни одного ласковаго слова, не сказалъ ни одного наставленія, называлъ меня шельмой, и если его обманывала рыба, онъ ругалъ рыбу, плевалъ со злости въ воду, ругалъ меня, говоря: «это все отъ тебя не клюетъ рыба! Какъ отецъ твой несчастный, такъ и ты такой же злосчастный»... Можетъ быть онъ хотѣлъ испытать мое счастье и поэтому бралъ меня съ собой. А у него была такая замашка. Впослѣдствіи мы рыбачили неводомъ и закидывали неводъ на счастье тетки, дяди и мое. Оказывалось, что рыбы попадало мало, и заключали, что всему этому я виной. Одинъ разъ какая-то рыба оборвала всю лесу у дяди чуть не по самое удилишко. Дядя обругалъ меня: «это все отъ тебя!» Поплылъ за лесой, но лесы не могъ поймать. Съ этихъ поръ онъ не сталъ брать меня съ собой, и я рыбачилъ уже самъ съ берегу, да и это случалось очень рѣдко, потому что меня одного

боялись отпускать къ рѣкѣ, чтобы я не утонулъ. За то, если я рыбачилъ, то становился по колѣно въ воду, болталъ удилишкомъ въ водѣ, когда не клевала рыба, и особенно любилъ ловить раковъ.

Наши родственники держали своихъ дѣтей очень строго и рѣдко отпускали насъ другъ къ другу. У тетки дѣти не собирались, а собирались мы у дяди Антипина, у котораго было три дочери и двое сыновей и къ которому приходили его племянники, три мальчика. Съ уличными ребятами намъ рѣдко приходилось играть, потому что насъ не пускали на улицу, и если случалось, что мы дрались съ дѣтьми мѣщанъ, насъ наказывали за это, такъ какъ намъ не слѣдуетъ связываться съ дѣтьми мѣщанъ потому-де, что мы переймемъ отъ нихъ скверныя привычки. Намъ позволяли играть во дворѣ и въ огородѣ. Мальчики старше насъ съ нами не играли, у нихъ были свои игры: они стругали стрѣлы, дѣлали луки, стрѣляли въ цѣль и кверху, дѣлали суденки и корабли съ парусами, пускали ихъ по пруду, находящемуся въ огородѣ Антипина, и занимались большею частью рыболовствомъ. Если мы приставали къ нимъ съ разспросами, они, какъ старшіе, звертывали насъ, т. е. теребили за волосы. Поэтому нашей братьи собралось отдѣльно человѣкъ шесть, и такъ какъ у насъ почему-то не было расположенія играть въ мячикъ или бабки, то большинство изъ насъ играло *въ клѣтки* и угощали другъ друга разными кушаньями изъ глины. Въ куклы любили играть двѣ дѣвочки, и эти куклы представляли тоже живыя существа, замѣнявшія собой бабушку или какого-нибудь родственника. Заберемся мы, бывало, лѣтомъ въ уголокъ за сараемъ у огорода для того, чтобы насъ не тревожили старшіе, и начнемъ играть.

И дѣлаемъ мы чашки, пирожки, крендельки и т. п. изъ глины, и угощаемъ другъ дружку такимъ образомъ. Такъ же угощаются и лелѣются куклы наши, которыя въ одинъ день бываютъ и матушкой-попадьей, и тетушкой, и сестричкой, и посторонней гостьей, и если кукла капризится, ее щиплютъ, снимаютъ съ нея платье и т. д. И чего-то чего не наговоримъ мы тутъ; какъ не выскажемъ свою заботливость, свои нужды и печали, да и не только свои, а и своихъ родныхъ. Напримѣръ:

— Ахъ, Маша, у меня нѣтъ чаю. (Это значитъ— вчера у ея матери не было чаю).

— Купи у меня.

— Продай; много ли возьмешь?

— Рубль.

И даетъ Оля Машѣ пять плитокъ отъ изломаннаго горшка. Случалось, что иногда по капризу кого-нибудь изъ насъ чай стоилъ сто рублей. А по нашему сто и тысяча рублей уже черезчуръ много значили, хотя мы не видали никогда столько денегъ. Цѣлый день мы играемъ такъ; намъ весело и хорошо. Взрослый человѣкъ, послушавши насъ, сказалъ бы: что это они городятъ такое? никакого толку отъ нихъ не добьешься. Взрослый человѣкъ скучаетъ весь день, весь день недоволенъ и не понимаетъ онъ этого особаго дѣтскаго міра, который дѣти сами создали или переняли отъ другихъ: нравится имъ эта безтолковая игра, она занимаетъ ихъ, болтаютъ они все, что только взбредетъ въ голову, все, что они помнили отъ людей; здѣсь никто не стѣсняетъ ихъ, потому что они предоставлены самимъ себѣ,—и весело имъ. Странно только то, что многимъ изъ родныхъ нашихъ не нравились подобныя игры; странно, потому что они, когда были дѣтьми, такъ же играли, а это я зналъ изъ того, что всѣ дѣти, сколько я ни видалъ ихъ въ то время и послѣ въ нашемъ городѣ, такъ же играли. Не скучно намъ было и тогда, когда шелъ дождь, или зимой. Лѣтомъ мы забивались въ чуланъ или куда-нибудь въ такое мѣсто, откуда насъ не гнали, и тамъ играли въ плетки и въ деньги. Зимой мы забирались на печь и играли больше въ карты, хотя и не умѣли еще играть, причемъ валеты, дамы и прочая карточная знать шла у насъ за людей. Такъ напримѣръ моего дядю называли пиковымъ валетомъ, а я настаивалъ на томъ, что мой дядя бубновый король.

Любили мы еще играть въ войны или отпѣвать. Голосъ тогда у меня былъ хорошій и мнѣ часто доставалось за него. Найдетъ напримѣръ кто-нибудь изъ насъ подохшаго воробышка, косточку отъ курицы, крылышко или что-нибудь въ этомъ родѣ, мы всей ватагой и давай дѣлать ямку, гробикъ, завертываемъ предметъ нашего удовольствія въ тряпочку и загребаемъ его землей. На другой день мы смотримъ, тутъ ли погребенная нами вещь. Но раньше этого мы спорили.

— Тутъ, или нѣтъ?

— Нѣту...

— А вотъ посмотримъ.

Предметъ нашего удовольствія всегда бывалъ на мѣстѣ. Въ войны же играли такъ: возьмемъ каждый по палкѣ, станемъ всѣ въ рядъ, кромѣ дѣвочекъ, старшіе командуютъ: разъ! два! Мы вытягиваемъ ноги и хохочемъ. Это у насъ называлось «войной», о которой мы имѣли такое понятіе потому, что видѣли, какъ маршируютъ солдаты, а если намъ говорили, что на войнѣ убиваютъ, мы не вѣрили... Мы знали, что за убійство наказываютъ; а это мы знали изъ того, что мимо нашего дома каждую субботу возили на рынокъ грѣшниковъ. Лишь только услышимъ мы барабанный бой—и кричимъ: «грѣшника везутъ», и бѣжимъ на улицу. Изо всѣхъ воротъ выходили мужчины, женщины и дѣти,—каждому хотѣлось взглянуть на грѣшника. Невольно и я побѣгу посмотрѣть.

— Смотри, недолго! Я бы сходила, да некогда,— говоритъ мнѣ тетка. Впрочемъ она часто ходила за толпой. Тогда я оставался дома, но скоро убѣгалъ и крался, какъ кошка, за этой толпой, стараясь не попадаться на глаза теткѣ. А въ толпѣ говоръ:

— Экое подумаешь наказанье! Подумаешь ты: вѣдь неловко ему, бѣдному.

— Поди кается, голубчикъ.

— Ахъ, Машка, я и забыла грошикъ-то взять?.. Какъ я пойду съ пустыми руками: вѣдь неловко, какъ не бросишь на шафотъ-то.

— Ну, я за тебя брошу.

— Нѣтъ ужъ, я своими руками.

— Говорятъ, что это палачъ себѣ беретъ.

— Ну, Богъ съ нимъ! Ты лучше нищему не подай.

— Ай, дяденька! за что его везутъ-то?

— За воровство.

— Ишь ты! Вотъ бы Анкудиниху такъ-то пробрать!

— Чего Анкудиниху! Вонъ Тарасовъ что дѣлаетъ...

— Не казнятся, черти... А поди и они тутъ же.—И т. п.

Дядя мой ругалъ тѣхъ людей, которые бѣгаютъ смотрѣть грѣшника. Онъ говорилъ, что это дураки бѣгаютъ, сами не зная, почему бѣгаютъ, такъ же какъ сами не знаютъ, почему они ходятъ пожары смотрѣть; говорилъ онъ также, что они ходятъ для развлеченія, потому что дома имъ нечего дѣлать. Но дядя мой понималъ это по своему, а тетка и люди—по своему; тетка даже говорила, что она не потому ходитъ, чтобы смотрѣть, какъ наказываютъ, а чтобы пожалѣть его и бросить ему гривенку денегъ. Того же мнѣнія были и сосѣди наши. Мы же, дѣти, ходили безсознательно, и намъ очень было жалко наказываемаго, страшно, потому что въ это время была такая мертвая тишина, что только и слышны стоны наказываемаго. Мы уходили молча, сердца наши бились; по ночамъ мы бредили и какъ-то боялись. За то днемъ находились изъ насъ такіе артисты, которые изображали подобную же операцію надъ деревомъ, веревкой или голикомъ. Выходило забавно, но еще забавнѣе выходило то, что этого артиста непремѣнно въ этотъ день наказывали розгами или родной батюшка, или родная матушка.

Играли мы еще въ лошади, но украдкой; и за эту игру намъ больно доставалось отъ родныхъ. За то намъ не запрещали пускать змѣйки. Сдѣлаешь змѣекъ и бѣжишь въ восторгѣ, распуская нитки, то по улицѣ, то по огороду, и только тогда присмирѣешь, когда услышишь крикъ дяди или родственника:

— Я тебя, шельма ты эдакая!..

Родные наши очень были строги и не любили всѣ наши игры. Они хотѣли, чтобы мы сидѣли смирно; они боялись, что мы издеремъ и измараемъ рубашки и платья, ушибемся. Все это дѣлалось конечно съ цѣлію, чтобы оберечь насъ. Но что же было намъ дѣлать, какъ не играть только? Намъ ничего не читали, ничего не разсказывали хорошаго, не велѣли дотрогиваться до книгъ. Если же мы спрашивали: «а почто это гремитъ? Почто идетъ такъ скоро туча?». Намъ говорили: «не ваше дѣло!..» Если мы приставали съ разспросами, намъ отвѣчали подзатыльниками. Какъ теперь помню, вся забота нашихъ родныхъ состояла въ томъ, чтобы мы во всемъ слушались ихъ, пересказывали все, что говорилось другими про нихъ, не знались съ тѣми, кого и они не любятъ, меньше ѣли. При этомъ они говорили, что хотятъ изъ насъ сдѣлать подобіе себѣ, и указывали на какого-нибудь служащаго молодого человѣка: «посмотри-ка, какой человѣкъ-то сталъ!.. А вѣдь какъ били-то его, бѣднаго... За то выучили».

Дядя началъ меня учить грамотѣ. Азы я училъ цѣлый мѣсяцъ, писалъ букву *а* также цѣлый мѣсяцъ. Знаю, что много терпѣнья затратилъ дядя на мое ученье. Подзоветъ онъ меня къ столу, заставляетъ читать и такъ строго заставляетъ, что я боюсь его и молчу. Онъ крикнетъ на меня: ну! Я задрожу. Онъ ударитъ меня, я въ слезы; онъ—хуже: привяжетъ меня къ столу и уйдетъ. Какъ только онъ уйдетъ, я начинаю ковырять указкой буквы, вырываю листки изъ азбуки. Дядя выспится, придетъ ко мнѣ.

— Выучилъ?

Я молчу.

— Что же ты?

Я смотрю на него, надуваю губы и со злостью смотрю въ уголъ.

— Такъ-то ты?—Онъ схватитъ ремень и начнетъ меня драть... Я возьму да и укушу ему руку...

Родственники видѣли во мнѣ глупаго мальчишку и постоянно называли меня лѣнтяемъ. Одна только бабушка жалѣла меня.

— Учись ты, дитятко, учись!

— Не хочу!

Она на меня прикрикнетъ: «въ солдаты что-ли захотѣлъ?». Я заплачу и скажу:

— И ты такая же злая.

Товарищи-друзья издѣвались надо мной: «вотъ мы какъ много выучили!» хвастались они.

Наконецъ дядя отдалъ меня въ науку одному старому отставному чиновнику съ платою ему по четыре рубля въ мѣсяцъ. У этого чиновника, какъ я помню, были двѣ страсти: онъ любилъ птицъ, которыхъ у него было постоянно до семидесяти штукъ и восемьдесятъ садковъ, отъ чего комната его, и безъ того грязная и темная, имѣла довольно неказистый видъ; птицы пѣли, стучали носами, а онъ поддразнивалъ какую-нибудь птицу. Онъ изрѣдка продавалъ птицъ и продавалъ только такихъ, которыя ему чѣмъ-нибудь не нравились; хорошихъ птицъ онъ держалъ съ какою-то цѣлію и свою цѣль никому не высказывалъ, а говорилъ, что ему нравится держать птицъ. Онъ съ наслажденіемъ осматривалъ каждую птицу, съ наслажденіемъ чистилъ садки и говорилъ: «о ты моя маточка! Ишь какъ расходилась! Ну-ко, куси палецъ»... Забавно было смотрѣть, какъ онъ бралъ особенно любимую имъ птицу въ руки, дулъ на нее, цѣловалъ и говорилъ: «такъ бы и съѣлъ тебя, маточка, да жалко». Чиновники называли его птичьимъ сводникомъ, рѣдко заглядывали къ нему и говорили, что онъ сошелъ съ ума отъ птицъ, хотя ни я, ни ученики его этого не замѣчали. Онъ до безумія любилъ свою сестру, которая, какъ говорили люди, вовсе не сестра ему, потому что многимъ моложе его. Когда она закричитъ на него, онъ растеряется такъ, что у него и садокъ выпадетъ изъ рукъ; скажетъ она ему: «сходи на рынокъ», онъ и птичью любезность броситъ, побѣжитъ на рынокъ, но предварительно лѣзетъ цѣловаться съ сестрой, которая при этомъ говоритъ ему: «иди, мохнорылый; ишь, не обрился, а туда же цѣловаться лѣзетъ!»

— Некогда, маточка.

— Набралъ себѣ поганыхъ птицъ; вотъ распущу всѣхъ...

— У, ты, курочка-мохноножка!

Вторая страсть его была учить дѣтей. Своихъ дѣтей Богъ ему не далъ, вотъ онъ и взялся по знакомству учить ребятъ. Всѣхъ насъ было штукъ восемь и мы у него учились мало, потому что задавалъ намъ уроки на домъ, а дома только спрашивалъ по

книжкѣ и кое-что разсказывалъ изъ священной и всеобщей исторіи. Кромѣ этого мы помогали ему чистить садки и учились пѣть. Въ праздники онъ водилъ насъ въ церковь и пѣлъ съ нами на клиросѣ. Онъ никогда не теребилъ насъ за уши или за волосы, а любилъ насъ наказывать голикомъ своими руками.

— Ты не сердись, голубчикъ... Я маленько, потому что мнѣ это нравится, да и тебѣ привыкать надо къ этому,—говорилъ онъ намъ передъ наказаніемъ. Мы были привычны къ этому и всегда смѣялись, когда онъ наказывалъ насъ. А онъ очень легко наказывалъ, такъ что его сестра говорила ему:

— Что ты ихъ мажешь?

— Думаешь, я тебѣ довѣрю... Я люблю ребятокъ...

Я кое-какъ умѣлъ разбирать печать и кое-какъ писалъ крупные азы; поэтому три мѣсяца моего ученія у чиновника прошли безъ пользы для меня. Не знаю, долго ли бы я проучился у него, только я ему хорошо насолилъ. Какъ-то я остался одинъ у него. Мнѣ захотѣлось посмотрѣть, летаютъ ли эти птицы по комнатѣ и улицѣ, а того и не сообразилъ, что онѣ могутъ улетѣть совсѣмъ. Я отворилъ сначала окно и растворилъ четыре садка. Птицы вылетѣли изъ садковъ, полетали по комнатѣ и одна за одной улетѣли въ растворенное окно на улицу. Я хотѣлъ было поймать, да ихъ и слѣдъ простылъ... Стою я у окна и плачу; входитъ учитель:

— Что ты, разбойникъ дѣлаешь? — и онъ оттолкнулъ меня отъ окна.

— Ничего... А самъ думаю: убьетъ онъ меня.

— А зачѣмъ плачешь? Ахъ, Господи! Гдѣ соловей?.. гдѣ канарейка?.. Ахъ!.. ахъ!..

— Убѣжали...

— Да знаешь ты, мошенникъ эдакой, я за нихъ тысячи не возьму...

Онъ меня вытолкалъ въ шею и я съ тѣхъ поръ не видалъ ужъ его.

Уже съ годъ поговаривали, что меня отдадутъ въ училище и я очень радовался, что буду учиться въ училищѣ, гдѣ много будетъ товарищей. Но дядя все откладывалъ почему-то, говоря, что я еще малъ. Мы тогда жили въ почтовой дворнѣ и я выкидывалъ тамъ разныя штуки. Мнѣ очень было забавно, какъ почтальоны дрались у печки, и я пользовался случаемъ, чтобы злить ихъ какъ можно чаще. У одной печки стряпали двѣ, три женщины-хозяйки, потому что около одной печки, устроенной въ кухнѣ и выходящей одной стороной въ комнату, жило двѣ, три семьи, и стало быть каждая имѣла право на стряпню въ этой печкѣ; но каждая хотѣла непремѣнно одна стряпать. Сдвинетъ напримѣръ Семениха горшокъ Ивановой, Иванова толкаетъ горшокъ Семенихи и ставитъ свой горшокъ. Третья лѣзетъ пирожки жарить.

— Ты куда?

— А ты куда?

— И подождешь!

— Плевать мнѣ на твои горшки!

— Подожди, тебѣ говорятъ!

— Экая фря! Откуда ты, сволочь, выплыла?

— Тьфу ты, проклятая...

И пойдетъ цапотня. Придутъ мужья.

— Ну-ну, смирно!

— Не твое дѣло!..

— Я вотъ тѣ покажу, не твое дѣло!..

— Молчи! ты знай свое дѣло въ конторѣ, а мнѣ не мѣшай.

Трудно было мужьямъ разнимать своихъ женъ и они совсѣмъ отступались отъ нихъ. Тетка жила хотя и въ особой комнатѣ, но стряпала въ одной кухнѣ, съ тремя семействами. Она была неуступчивая и всегда жаловалась дядѣ на обиды ихъ; дядя жаловался почтмейстеру. Хозяйки, заявлявшія свои права на печку, сильно не любили тетку и всячески старались пакостить ей. Тетка ругалась и говорила мнѣ, чтобы я не знался ни съ кѣмъ изъ нихъ. Этого я сдѣлать не могъ, потому что на нашемъ корридорѣ было четыре квартиры, имѣющія каждая комнату и кухню, въ которыхъ, какъ я замѣтилъ раньше, жило по двѣ или по три семьи. Мнѣ нравилось тереться у какой-нибудь семьи. А нравилось потому, что я выглядывалъ тамъ, нѣтъ ли хорошихъ картинокъ, хорошихъ книгъ съ картинками; мнѣ нравились платья, мебель и пр., и быть тамъ казалось веселѣе. Увижу мѣдныя деньги, непремѣнно стяну гривну или копѣйку. Если деньги были считаны, то жаловались теткѣ, что я укралъ, и запирался; тетка говорила, что на меня говорятъ напрасно. Если кто ругалъ меня или обижалъ, я самъ тому мстилъ такимъ образомъ: однажды на только-что развѣшанномъ во дворѣ для сушенья бѣльѣ я начертилъ углемъ косые кресты, меня замѣтила одна женщина и привела къ теткѣ за уши. Когда мнѣ задали за это хорошую баню, я придумалъ новое средство къ своей мести: нашелъ во дворѣ дохлую кошку, принадлежавшую этой женщинѣ, и бросилъ ее въ кадку съ водой, принадлежавшую этой же женщинѣ. Подумали на меня: меня отодрали и пожаловались почмейстеру, что отъ меня никому нѣтъ покоя. Почтмейстеръ сдѣлалъ выговоръ дядѣ. Послѣ этого мнѣ такъ нравилось злить почтовыхъ женщинъ, что я почти каждый день придумывалъ какую-нибудь штуку. И больно нравились мнѣ мои штуки, и больно мнѣ приходилось за нихъ. Лишь только отдерутъ меня, я сажусь куда-нибудь въ уголъ и думаю: что бы мнѣ такое сдѣлать, да такъ, чтобы не узналъ никто. Пройдетъ мимо меня почтальонъ и смѣется:

— Что ты сидишь, драная харя!

— Что ты дразнишься, песъ ты экой?

Почтальонъ деретъ меня за волосы.

— Что дерешься, подлецъ!—и я ударю его.

Онъ отойдетъ и говоритъ: «воръ! воръ! не ходи во дворъ»...

Я соскочу и брошу въ него чѣмъ-нибудь.

— Я тѣ сволочь!—скажетъ другой почтальонъ, выходя изъ дверей.

Пройдетъ женщина и, со злостью направляя на меня кулаки, говоритъ:

— У! подкидышъ!

— Молчи, чуча!

— О-охъ ты, чума сибирская!.. — плюнетъ на меня женщина, уйдетъ и скажетъ теткѣ, что я обозвалъ ее скверною руганью.

Я крѣпко затаю злобу и начинаю выдумывать что-нибудь, и только выдумаю, смѣшно мнѣ становится. «Ужъ сдѣлаю же я надъ вами праздникъ!», думаю я.

И весь день я веселъ, такъ что тетка удивляется, что я веселъ.

— Надъ чѣмъ ты все смѣешься?

— Ничего... такъ.

— Опять вѣрно спакостилъ что-нибудь?

Стоитъ въ корридорѣ чей-нибудь самоваръ. Самоваръ шумитъ. Я вытащу изъ него кранъ и заброшу его куда-нибудь, а самъ спрячусь дома. И совѣстно мнѣ становится своей глупости, а все-таки думаю: пускай!

Слышу я, что въ корридорѣ суетятся: голосятъ бабы.

— Что-то баба запоетъ?—думаю.

— Ахъ, наказанье Божье этотъ парень!

— Смотри, какъ сѣлъ!... Вѣдь восемь рублевъ стоитъ самоваръ-отъ! Ахъ, будь онъ проклятъ, этотъ парень!

— Ужъ это онъ, больше некому.

И вытащатъ меня и начинаютъ расправляться.

И выходило послѣ этого то, что всѣ кражи, сдѣланныя не мной, сваливали на меня. Меня драли, мнѣ тяжело было жить, а дядѣ еще хуже, потому что онъ платилъ деньги, и ему не было проходу: «вотъ онъ вашъ-то сынокъ, что опять надѣлалъ».

— Да будьте вы прокляты всѣ!—скажетъ дядя и думаетъ что я—страшный разбойникъ и что отъ меня надо всячески избавиться. Онъ отдалъ меня въ бурсу на томъ основаніи, что я принадлежалъ къ духовному сословію, хотя и родился тогда, когда отецъ былъ почтальономъ. То, что меня взяли въ бурсу, ухитрился сдѣлать дядя, у котораго много было знакомыхъ изъ консисторскихъ.

Сначала мнѣ хорошо казалось жить съ товарищами и я велъ себя очень скромно. Но когда меня черезъ недѣлю послѣ поступленія въ бурсу жестоко отодрали, я невзлюбилъ бурсу. Мнѣ не нравилась жизнь въ заведеніи, несоюзность товарищей и жестокія розги; мнѣ показалось, что у дяди вольнѣе жить и лучше. Дядя и тетка наказывали за дѣло, а здѣсь за какіе-то уроки, которые я не считалъ нужнымъ учить, меня два раза выстегали до обѣда, да разъ послѣ обѣда... Цѣлыя двѣ недѣли не выпускали никуда изъ заведенія и почти каждый день драли, какъ лошадь, если не разъ, а по два раза; товарищи били меня за то, что я воровалъ у нихъ булки, сушеныя лепешки, привезенныя имъ родными и родственниками. Я ни съ кѣмъ не жилъ въ ладу, хвастаясь дядей, и никто не любилъ меня; всѣ стали жаловаться, что я краду булки; да если я и былъ правъ, такъ находились товарищи, которые сами воровали и сваливали всю вину на меня. Такъ я прожилъ мѣсяцъ и въ это время ужасно перемѣнился—похудѣлъ и схватилъ золотуху. Тетка дала мнѣ двѣ-три пары рубашекъ и подштанниковъ, но я весь мѣсяцъ носилъ только одну рубашку, брюки и сюртукъ, а остальное у меня разворовали. Мнѣ невтерпежъ стало житье въ заведеніи и я задумалъ бѣжать. Бѣжать къ дядѣ я боялся, потому что дядя приведетъ меня снова въ заведеніе, а тамъ я видалъ, какъ наказывали бѣглецовъ. Мнѣ очень хотѣлось бѣжать къ дядѣ, пасть передъ нимъ на колѣни, плакать и просить, чтобы онъ взялъ меня къ себѣ; я хотѣлъ всячески постараться угождать ему, не сердить его и не дѣлать никакихъ накостей ни ему, ни другимъ; но я все-таки боялся уйти къ нему, боялся даже и тетки. Наконецъ я таки рѣшился бѣжать во что бы то ни стало. Рано утромъ я ушелъ на колокольню, думая, что тамъ никто меня не найдетъ. Съ замираніемъ сердца я просидѣлъ на вышкѣ надъ колоколами то время, когда звонили къ заутрени. Послѣ заутрени мнѣ скучно сдѣлалось, я заплакалъ и спустился къ колоколамъ. Долго я смотрѣлъ на городъ и на рѣку, долго думалъ: куда бы мнѣ уйти, но ничего не придумалъ. Мнѣ страшно захотѣлось ѣсть, а сойти съ колокольни боялся: я и теперь думалъ, что изъ каждаго окна смотрятъ на колокольню, видятъ меня и говорятъ: «вонъ онъ куда спрятался!» и я представлялъ себѣ картину: какъ схватятъ меня, какъ приведутъ къ смотрителю и какъ начнутъ драть... Въ сердцѣ точно кто ножомъ водилъ тогда, когда я думалъ: «а вѣдь теперь учатся!.. Ихъ дерутъ, а меня нѣтъ... Меня не найти имъ», и я радовался своему геройству... Послѣ обѣдни мнѣ еще тяжелѣе сдѣлалось; голодъ меня мучилъ. Пошелъ дождь, загремѣлъ громъ и я съ трепетомъ, прижавшись въ уголъ, ждалъ смерти. Я такъ и думалъ, что громъ непремѣнно убьетъ меня, но все-таки мнѣ еще жить хотѣлось... Когда прошла гроза и пересталъ дождь, я хотѣлъ идти въ городъ, но не пошелъ. Вечеромъ мнѣ страшно сдѣлалось; я боялся провести ночь на колокольнѣ... Мнѣ вдругъ представилось, что колокольня можетъ упасть и убить меня... Я подошелъ къ большому колоколу, моля его, чтобы онъ пришибъ меня, но онъ не двигался... Долго послѣ этого я стоялъ у перилъ и мнѣ вдругъ захотѣлось броситься внизъ. Закружилась голова и я чуть не бѣгомъ спустился съ колокольни. Ночь я провелъ на берегу въ одной лодкѣ, а утромъ отправился за рѣку. Весело мнѣ было на вольномъ воздухѣ, на свободѣ, я улыбаясь смотрѣлъ на городъ и срисовывалъ на бумажку одну часть города. Я ходилъ какъ помѣшанный отъ голода и кое-какъ отыскалъ рабочій шалашъ. Въ немъ не было никого. Тамъ я увидалъ полъ-ковриги хлѣба, взялъ ее съ собой и, не знаю почему, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ у снастей, распласталъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ неводъ и сдѣлалъ дыру на одной лодкѣ. Этотъ день провелъ хорошо, прогуливаясь по травѣ и по лѣсу и напѣвая пѣсни. Я радовался, что я на свободѣ, что меня никто не стѣсняетъ и я могу дѣлать все, что только хочу, я торжествовалъ надъ тѣмъ, что я одинъ изъ всѣхъ бурсаковъ убѣжалъ далеко, что ихъ дерутъ... «Пусть васъ дерутъ!», говорилъ я громко и хохоталъ. Я очень былъ счастливъ и не находилъ счастливѣе себя человѣка. Я думалъ: «а какъ хорошо! Ни за что не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду... Я и къ дядѣ не пойду». Мнѣ ничего не нужно было, хотя мнѣ казалось, что въ каждомъ кустѣ дерева кто-то сторожитъ меня, а на нѣкоторые кусты я даже и смотрѣть-то боялся. Когда проходилъ мой страхъ, я думалъ: «а хорошо бы здѣсь выстроить домъ. Я бы дядю и тетку взялъ съ собой жить, они бы тогда не стали меня бить». Потомъ мнѣ думалось: «нѣтъ лучше бы денегъ побольше найти, тогда бы меня прямо сдѣлали священникомъ и учиться бы не заставили». Потомъ мнѣ вдругъ захотѣлось плыть куда-то дальше. Я сталъ грести квер-

ху, но мои силы плохи были и меня перло книзу. Я приплылъ къ берегу и сталъ доѣдать кусокъ хлѣба, поглядывая на огородъ.

— Я те, подлую рожу! ахъ ты, мошенникъ экой, каторжный!—услыхалъ я позади себя. Когда я оглянулся, то увидалъ на горкѣ мѣщанина. Лицо его было такъ страшно для меня, что я сильно струсилъ. Онъ подбѣжалъ ко мнѣ.

— Такъ-то ты! такъ-то!.. Я тебѣ!.—И онъ началъ тузить меня не на милость, а на смерть... Я ничего не понималъ, а только чувствовалъ его полновѣсные удары, а потомъ ужъ ничего не чувствовалъ. Очувствовался я уже тогда, когда не было ни лодки въ водѣ, ни мѣщанина на берегу. На лицѣ была кровь, голова страшно болѣла, волосы лѣзли. Я кое-какъ всталъ, началъ бродить по берегу, не зная, что мнѣ теперь дѣлать. Не знаю, сколько времени бродилъ я по берегу, только кажется вскорѣ послѣ того, какъ я всталъ съ земли, я услыхалъ свою фамилію съ словами: «вотъ онъ, бѣглецъ». Когда я взглянулъ на рѣку, то на срединѣ ея увидалъ двѣ лодки и въ каждой по два сторожа и по три семинариста. Я пустился бѣжать въ лѣсъ, не помня себя. Не помню, долго ли я бѣжалъ, только двѣ дюжія руки схватили меня, связали накрѣпко и потащили безжалостно по кочкамъ, камнямъ и травѣ, прибавляя въ спину полновѣсные, крѣпкіе удары палкой. У лодокъ меня дожидались дюжіе бурсаки и смѣялись: «бѣглецъ! бѣглецъ! Вотъ тебѣ зададутъ жару!». Я просилъ ихъ плача отпустить меня, жаловался, что меня избили; но они все хуже и хуже издѣвались надо-мной.

И была же мнѣ баня!.. Послѣ этой бани я два мѣсяца лежалъ въ лазаретѣ.

Вы думаете, я не сталъ послѣ этого бѣгать? Какъ бы не такъ! Я еще въ лазаретѣ обдумывалъ планъ побѣга, и какъ только вышелъ изъ него, черезъ день же убѣжалъ въ заводъ, находящійся въ трехъ верстахъ отъ города. И знаете ли, какъ я тамъ промышлялъ себѣ пищу и пристанище въ теченіе полуторыхъ недѣль? Какъ только я вышелъ изъ города, я бросилъ сюртучокъ въ рѣку, вымаралъ грязью свою рубашку, штаны, лицо и пошелъ въ заведенія и дома просить хлѣба ради Христа... Меня спрашивали:

— Чей ты, парнюга?

— Чей? материнъ,—отвѣчалъ я.

— Знаю, что не собачій... Кто у те мать-то?

Я затруднялся отвѣчать и молчалъ.

— Что молчишь?

— Да мамка-то померла у меня, давно померла; бросила...

— Ишь-ты! Экое, подумаешь, наказанье... Ты бы въ люди пошелъ.

— Не принимаютъ.—Я плакалъ, и плакалъ я не представляясь, а не знаю, почему мнѣ горько было и горячи были мои слезы...

— То-то. Видно, молъ, трудно. А ты поди къ управителю, онъ те пристроитъ.

— Боюсь, стегать будетъ.

— Ужъ не безъ того... А ты ужо похлебай щецъ.

Я радъ не радъ, что меня призритъ добрая хозяйка, а самъ думаю, какъ бы она не сказала кому-нибудь про меня, да не узналъ бы дядя. Сяду я на лавку и сижу смирно, смотрю дико. Ребята оглядываютъ меня, сторонятся какъ-то, а говорить со мною не хотятъ и только шепчутся... Сядетъ хозяинъ обѣдать и дѣтей посадитъ съ собой, а я все сижу въ углу да смотрю, какъ они уписываютъ, да на меня смотрятъ. Мнѣ такъ и кажется, что они издѣваются надо мной да думаютъ: «посмотри-ко, какъ мы ѣдимъ!..» И сижу я, какъ собачонка, съ жадностью и злостію смотрящая на своихъ хозяевъ, какъ они ѣдятъ хлѣбъ и хлебаютъ щи и что по ихъ вкусу, и съ гордостію смотрятъ на нее, говоря: «подождешь! вотъ остатки будутъ... А не будутъ—извини»... И жду я этихъ остатковъ, и стыдно мнѣ, что я жду, такъ вотъ и хочется самому схватить все со стола и все поѣсть... И думаешь со злостью: «экіе у нихъ рты-то огромные!.. экъ они ѣдятъ-то сколь!.. А кто они такіе?.. Погодите, утру я вамъ носъ!»... А чѣмъ,—я и не знаю, стыжусь своего положенія; боязнь опять приходитъ ко мнѣ... Славно я наѣмся чужого хлѣба и сладокъ этотъ хлѣбъ!.. Не даромъ же я просилъ его Христа ради. Ночами я время проводилъ или у мастеровыхъ, или гдѣ-нибудь на сараяхъ.

И много я увидалъ тамъ, много я замѣтилъ хорошаго; мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ...

Сколько я ни старался избѣгать нищихъ, которыхъ я не любилъ по-своему, но мнѣ все-таки приводилось сталкиваться съ ними. Дѣти ихъ, старше и моложе меня годами, были слишкомъ грубы. Я захаживалъ въ ихъ жилища и много я тамъ узналъ такого, что заставляетъ ихъ ходить по міру. Объ ихъ жизни можно бы было написать цѣлые романы и исторіи, но не все же интересно для большинства: много есть такого, чему можно и не повѣрить. Здѣсь я разскажу, какъ можно короче, нѣсколько примѣровъ нищенства.

Нищенку Аринку зналъ весь заводъ. Знали ее потому, что она всѣ собираемыя деньги тотчасъ же пропивала въ кабакѣ и валялась послѣ этого пьяная на улицѣ. Ее ужъ не брали въ полицію, а не брали потому, что казакамъ взять съ нея было нечего, и такъ какъ въ полиціи всегда было много людей, а для Аринки нужно просторное мѣсто, потому что она никакъ не можетъ сидѣть или стоять, то рѣшили, что ей гораздо лучше лежать на улицѣ. У нея были двѣ дочери: Анна 8 лѣтъ и Прасковья 9 лѣтъ. Онѣ также ходили по міру и жили въ общей квартирѣ. въ стойлѣ, гдѣ пока не было коровы, и куда пустилъ ихъ изъ жалости мастеровой. Она была солдатская жена. Вышла она замужъ 18 лѣтъ за крестьянина. Черезъ пять лѣтъ мужа ея взяли въ солдаты. Ей трудно было жить въ чужой семьѣ съ двумя ребятами. Однако она билась полгода. Ее стали корить чужими хлѣбами, отняли мужнинъ домъ и наконецъ вытолкали изъ дома. Она пошла въ городъ на работу; но что можетъ сдѣлать одна женщина съ маленькими ребятами? Сначала она работала на кирпичномъ заводѣ, оставляя дѣтей въ какомъ-нибудь углу, а спала въ самомъ заводѣ. Потомъ она пріучилась попивать водку съ рабочими, заболѣла и больная пошла по міру. Ходить по міру ей очень понравилось. Дѣти тоже пошли по міру и ходили одни, безъ нея. Онѣ часто сталкива-

лись со мной, но я прятался отъ нихъ, потому что мнѣ не хотѣлось дѣлить подачекъ.

Много есть такихъ нищенокъ, которыя съ самаго дѣтства нищенствуютъ. За то онѣ ругаются, какъ иной пьяница не ругается, предаются разврату съ мужчинами ихняго сорта, пьянствуютъ, дерутся и обижаются, если имъ подаютъ мало.

Нищенка Танька росла въ чужихъ людяхъ. Много она приняла горя отъ нихъ, много была бита. Но и въ чужихъ людяхъ бываютъ радости. Она полюбила одного гимназиста. Ее выгнали изъ дома. Долго она ходила изъ дома въ домъ, ее нигдѣ не принимали; не принимали ее и въ больницу, и она, чтобы найти себѣ пріютъ, украла на рынкѣ у какой-то старухи кошель съ деньгами и ее посадили въ острогъ. Въ острогѣ ребенокъ ея умеръ. Ее оставили въ подозрѣніи, а послѣ трехъ лѣтъ ее обвинили опять въ воровствѣ. Она пробыла годъ въ острогѣ, испортилась тамъ совсѣмъ, и когда получила свободу, то пошла по міру. И часто эта Танька сидѣла въ острогѣ и въ полиціи безвинно. И никто не любилъ ее, а подавали ей милостыню только ради Христа, хотя и знали, что не въ прокъ ей эта милостыня. И жалко было смотрѣть на эту бѣдную, но ее никто не жалѣлъ...

И много-много я видѣлъ такихъ нищенокъ!

Весело и грустно мнѣ становилось, когда мнѣ приводилось быть въ ихъ компаніи, а отчего это такъ— я плохо смыслилъ въ то время... Шумно они проводили время, но не всѣ такъ—многіе плакали... Сидитъ напримѣръ какой-нибудь отставной солдатъ съ орденомъ на шинели, съ деревяшкой подъ лѣвымъ колѣнкомъ, сидитъ онъ грустно. Надъ нимъ смѣются, а онъ то и дѣло поетъ: «Ахъ, больно сердцу моему», и стучитъ кулаками отчаянно по столу.

— Гдѣ ты ногу-то пропилъ?

— Гдѣ? На войнѣ...

— Врешь ты все — отморозилъ.

Сердится солдатъ и выкладываетъ съ досады грошн, приговаривая: вотъ-гдѣ! и потомъ разсказываетъ въ сотый разъ исторію, какъ онъ лишился ноги и отчего онъ пошелъ нищенствовать. Я только знаю его слова такого рода: «вы думаете, я сталъ бы якшаться со всякой швалью?... а я поди-ка—жрать хочу, нажить деньги могу... Ну и наживаю, да пропиваю, а какъ пропью, и пойду собирать».

— Такъ зачѣмъ ты по міру ходишь, коли работать можешь?

— А обидно, что за работу мало даютъ. Обидно, что за ногу мало дали... А будь-ка нога, я бы козыремъ ходилъ и съ вашимъ братомъ не сталъ бы якшаться. Думаете, мнѣ не обидно что ли, сволочь вы экая!—И опять запоетъ: «Ахъ, больно сердцу моему!».

На меня всѣ смотрѣли, какъ на звѣря. Многіе думали, что я непремѣнно барскаго рода, потому что на мнѣ была ситцевая рубашка и лицо у меня было незагорѣлое.

— Ты, парень, кто такой?

— Материнъ,—обыкновенно отвѣчалъ я.

На это мнѣ отвѣчали ругательствами. Ругали мою мать, моего отца и многимъ тутъ доставалось.

— Чей ты?—спрашивали меня опять.

— Не знаю.

Меня опять ругали и били, и снова доставалось всѣмъ живымъ и мертвымъ.

— Пей водку!

— Не хочу.

— Тебѣ говорятъ: пей!

Ко мнѣ приставала честная компанія: кто теребилъ меня за волосы, кто наливалъ мнѣ на голову водки, кто засовывалъ руку за мою пазуху и обиралъ все, что было у меня тамъ спрятано.

— Пляши!

— Не умѣю.

Меня начинали бить и силой заставляли плясать.

. . . . . .

Послѣ подобныхъ сценъ у меня голова ходила кругомъ. Я долго не могъ опомниться отъ всего слышаннаго и видѣннаго. Я даже досадовалъ на себя, зачѣмъ я пошелъ въ заводъ. Такъ мнѣ казались гадки всѣ нищіе, что я всячески старался избѣгать ихъ, но они все-таки находили меня и тащили съ собой. Я кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы меня спасли отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. Искалъ я въ заводѣ и такого человѣка, который заставилъ бы меня работать, но меня не хотѣли брать безъ имени, а своего имени я не хотѣлъ сказывать... И Богъ знаетъ, что бы было со мной дальше, если бы не спасла меня одна женщина. Разъ я пришелъ въ одинъ домъ просить ради Христа. Лишь только я вошелъ въ избу, меня взялъ страхъ: я увидѣлъ ту самую женщину, которая по два раза въ недѣлю носила теткѣ молоко, и знала меня очень хорошо. Эта женщина любила меня и носила мнѣ пряничныхъ пѣтушковъ въ праздники.

— Что это съ тобой?—сказала она, увидѣвъ меня, и хлопнула руками по бокамъ.

— Ничего.

— Зачѣмъ ты здѣсь? Ахъ страмъ какой!

Я заплакалъ.

— Вотъ-то будетъ тебѣ пару и жару! Отецъ хорошій человѣкъ, а онъ, гляди же ты, по міру ходитъ.

Меня обступили ея дѣти; я плакалъ.

— Ай, ай! бѣда какая! Тебя тамъ сбились, ищутъ, а онъ—гляди же ты!

— Не сказывай, тетушка, родименькая...—плакалъ я, чувствуя всю свою бѣду.

— Ахъ ты, пострѣлъ эдакой! Ну, какъ я приму тебя? Ну, зачѣмъ ты пришелъ ко мнѣ?

Я не зналъ, что отвѣчать, и плакалъ. Она сжалилась надо мной: умыла меня, одѣла, накормила и уложила спать, а сама отправилась въ городъ. Она ушла потому, чтобы ей выслужиться передъ дядей и наговорить про меня ужасовъ вѣроятно изъ состраданія, такъ какъ и у нея были дѣти, только ея родныя...

Дѣло извѣстное, что было послѣ этого... Результатомъ моего бѣгства было то, что меня исключили изъ духовнаго сословія, и я сдѣлался работникомъ на своихъ воспитателей. Мнѣ тогда исполнилось только что десять лѣтъ, т. е. пошелъ уже одиннадцатый. Трудно мнѣ жилось въ это время! Я забылъ всѣхъ своихъ товарищей по бурсѣ, забылъ учителей и зналъ, что меня всѣ забыли. Послѣднее мое бѣгство было скрыто отъ семинарскаго начальства. Помню только то, что

въ это время я былъ очень задумчивъ и самъ собою выучился читать и писать.

Въ теченіе одного года послѣ моего бѣгства на заводъ, я предоставленъ былъ рѣшительно самому себѣ. Сдѣлавши по силамъ, что нужно у дяди, я забивался въ уголъ и тамъ сидѣлъ до тѣхъ поръ, пока меня не вызовутъ оттуда зачѣмъ-нибудь. Мнѣ скучно и непріятно было сидѣть тамъ; я много думалъ о своемъ положеніи и ничего не видѣлъ хорошаго въ настоящемъ, и не ждалъ ничего утѣшительнаго въ будущемъ. Когда мнѣ становилось очень тяжело, я плакалъ,—да и было отъ чего: меня укоряли отцомъ, моими поступками, и съ утра до вечера никуда не выпускали, да я и самъ никуда не шелъ: мнѣ почему-то стыдно было людей. Теперь я ужъ не дѣлалъ никакихъ пакостей. Одно только было у меня удовольствіе—это когда меня отпустятъ рыбачить. Лодки мнѣ не давали; а когда отпускали, то дѣлали строгія внушенія, чтобы я не посмѣлъ бѣжать; но я рѣшительно не имѣлъ этого намѣренія, зная по опыту, что десятилѣтнему бѣжать очень трудно и очень глупо. И куда бѣжать? Рыба меня мало занимала, и я больше думалъ. И Богъ знаетъ, о чемъ я думалъ... Я нисколько не винилъ воспитателей въ томъ, что они строги; я даже благодарилъ ихъ, что они содержатъ меня, и мнѣ досадно было только то, что они сердятся на меня во всѣхъ своихъ неудачахъ, какъ будто въ ихъ неудачахъ я одинъ виноватъ.

Вотъ какъ я понималъ тогда своихъ воспитателей: дядя сѣтуетъ на судьбу, что онъ бѣденъ. При своей бѣдности и при своемъ грошовомъ воспитаніи, онъ не могъ конечно выставиться передъ начальствомъ и получить хорошее, доходное мѣсто, хотя и чувствовалъ способность къ такому мѣсту. Я полагалъ, что дядя умный человѣкъ, и заключалъ это изъ того, что съ нимъ говорилъ ласково начальникъ, который служащихъ отличалъ по-своему... Дядю я считалъ простымъ и добрымъ человѣкомъ, потому что всѣ отзывались о немъ, какъ о хорошемъ человѣкѣ, и онъ ни на кого не сердился. Закричитъ онъ, а потомъ смягчится и скажетъ: «а Богъ съ нимъ!» Если у него были лишнія деньги, онъ давалъ ихъ тѣмъ, кто былъ очень бѣденъ; и знаю я, что онъ рѣдко получалъ долги. Онъ до того былъ простъ при своей должности, что игралъ въ бабки съ почтальонами, чего бы конечно не сдѣлалъ другой человѣкъ при его должности; а это я зналъ изъ того, что надъ нимъ смѣялись люди старше его по должностямъ. Сколько я ни сличалъ его обращеніе со мной и съ другими, я находилъ, что все-таки онъ добръ ко мнѣ: онъ взялъ меня къ себѣ, хотя у меня есть какой-то отецъ, принялъ черезъ меня много непріятностей... Я сознавалъ, что я глупъ и мнѣ должно любить его, потому что онъ держитъ меня, какъ сына; а это я зналъ изъ того, что все, что на мнѣ, пища, чистый уголъ—все его. Чего же мнѣ то надо? Отчего же я-то такой?

Тетка была капризная женщина, но добрая и уступчивая; она даже была мягче дяди. Своимъ врагамъ она сгоряча готова была Богъ знаетъ что сдѣлать, но потомъ плевала на все, и на другой же день говорила съ ними, какъ и прежде. Ее называли всѣ доброй и часто совѣтывались съ ней. Она была только ворчлива; любила, чтобы все дѣлалось скоро и такъ, какъ она хочетъ; не любила, чтобы ей говорили наперекоръ, а исполняли все то, что̀ ей хочется, и ей было обидно, что выходило иначе; но всего обиднѣе было то, что тотъ, кого она лелѣяла ребенкомъ, не хочетъ такъ сдѣлать... Она думала, что выкормила какого-то врага себѣ, и это ее бѣсило; она и высказывала это, какъ умѣла... Впослѣдствіи мнѣ приходило на мысль, что ей скучно, и потому она рада поворчать и потѣшиться надо мной. Будь она образованнѣе, она не мучила бы меня крикомъ, бранью и разными ужасами... Теперь ей всячески хотѣлось сдѣлать изъ своего воспитанника хорошаго человѣка,—такого, чтобы онъ не сказалъ послѣ объ ней ничего худого и былъ на зависть людямъ; но она не умѣла растолковать это мнѣ, пріучить меня къ тому, что̀ ей хочется, и она излагала свое ученье, какъ было ей лучше и какъ она умѣла. Вѣдь говорили же мнѣ чужіе люди, что она хорошая женщина и желаетъ мнѣ добра; говорили они, что рѣдкія дѣти воспитываются такъ! Да, я ѣлъ хорошо, одѣвался чисто и она нерѣдко давала мнѣ даже пряники и конфекты, говорила ласково, въ такомъ родѣ: «ты думаешь, мнѣ не жаль тебя!.. Ты ноги мои долженъ мыть да воду пить. Ну что бы ты былъ безъ насъ, скотина ты этакая?»... Хотя мнѣ и не нравились эти слова, но я молчалъ, смотрѣлъ на нее, утирая слезы, и готовъ былъ Богъ знаетъ какъ благодарить ее...

Дядя каждый день говорилъ теткѣ объ моемъ отцѣ въ это время. Онъ говорилъ, что мой отецъ просилъ похлопотать насчетъ мѣста почтальонскаго; потомъ говорилъ, что это мѣсто онъ выхлопоталъ ему въ одномъ уѣздномъ городѣ и только ждетъ его сюда. Я очень радовался, узнавъ о томъ, что наконецъ-то увижу своего настоящаго отца. Но меня брало раздумье: какъ мнѣ встрѣтить отца, что̀ говорить съ нимъ? А спросить объ этомъ тетку я боялся; я даже боялся, что испугаюсь его. Тетка мнѣ только говорила: «погоди, ужо вотъ, какъ пріѣдетъ отецъ, мы отдадимъ тебя ему. Подожди! Ужъ тогда, братъ, на насъ не пеняй, и мы тебя ужъ къ себѣ не возьмемъ». Мнѣ досадно и больно было слышать эти слова. Я думалъ: чѣмъ же виноватъ мой отецъ, что дядя взялъ меня къ себѣ? Вѣдь отецъ могъ бы, кажется, содержать меня, коли онъ до сихъ поръ еще живъ, или онъ ужъ такъ бѣденъ, что постоянно нуждается въ дядѣ и самъ не можетъ прокормить себя? Эти мысли я развивалъ еще потому, что дядя и тетка постоянно говорили мнѣ, и между собой, и знакомымъ, что дядя воспиталъ моего отца, женилъ и во всю жизнь помогаетъ ему, такъ что онъ сидитъ у него на шеѣ, или, сказать проще, дорого сто̀итъ ему. Я такъ и рѣшилъ, что мой отецъ вѣроятно такъ же росъ, какъ и я, и ужасался, чтобы такая же участь не постигла меня въ будущемъ... А вѣдь я очень могъ быть такимъ же, какъ и мой отецъ. Но какъ я ни думалъ объ отцѣ, все же мнѣ было жаль его, жаль потому, что онъ мой отецъ. Мнѣ приходила въ голову и такая мысль: неужели ему не жаль меня? неужели онъ забылъ, что у него есть сынъ? или онъ радъ, что

избавился отъ своего дѣтища, поручивъ его тому, кто воспиталъ его? Думалъ ли онъ обо мнѣ сколько-нибудь? Зналъ ли онъ то, что будетъ со мною въ будущемъ? Вѣроятно онъ думалъ, что я буду почтальономъ или сортировщикомъ въ губернской конторѣ... Вѣроятно онъ не допускалъ мысли, что я могу быть и хуже его... Ничего я этого не зналъ, а только представлялъ себѣ его положеніе: мнѣ жалко было моего бѣднаго отца, и я горько плакалъ, моля Бога, чтобы моему отцу онъ далъ счастія и благополучія... Не знаю почему, а въ это время я сильно задумывался объ отцѣ, и даже хотѣлъ, если бы у меня было богатство, отдать ему все мое богатство и жить только съ нимъ однимъ.

Я представлялъ себѣ отца измученнымъ, избитымъ человѣкомъ въ самой худой, никуда негодной одеждѣ, такимъ, какими я представлялъ себѣ нищихъ. Это я представлялъ себѣ потому, что я видалъ много людей. Всѣ, кто сколько-нибудь имѣетъ денегъ, живутъ не жалуясь на свою судьбу, ходятъ не оборванные, и хотя просятъ въ долгъ, но все-таки живутъ такъ, что объ нихъ не говорятъ ничего худого... А подобныхъ людей я видалъ въ почтальонскихъ семействахъ и эти семейства сравнивалъ съ мѣщанами и рабочими людьми въ городѣ; по моему мнѣнію, каждый человѣкъ въ изодранной одеждѣ, едва прикрывающей тѣло, уже былъ пьяница, нищій, и я злился почему-то и на кого-то, самъ не зная причины бѣдности. Мнѣ только казалось, что эти люди сами виноваты; а это я заключалъ изъ того, что мой дядя и люди, которыхъ я привыкъ уважать, ходятъ лучше такихъ людей, что они все-таки умѣютъ какъ-нибудь пріобрѣсти себѣ, что нужно, работаютъ и не пьютъ водку такъ, какъ эти оборванцы. Наконецъ мнѣ противно было смотрѣть на этихъ людей, потому что я самъ живалъ въ обществѣ нищихъ и наслышался много такого, чего я никогда не слыхалъ у дяди, у его родственниковъ и знакомыхъ; а по однимъ ругательствамъ я считалъ въ то время человѣка за самаго отчаяннаго, отъ котораго не можетъ быть никакой пользы и которому можетъ быть очень скоро придется быть *грѣшникомъ*... При этомъ мнѣ опять представлялись картины нищенства со всѣми ужасами, и я удивлялся какимъ это образомъ дядя не боится держать меня у себя?...

Почты часто приходили по ночамъ, и я нисколько не интересовался тѣмъ, что дядя уходилъ въ контору и приходилъ домой ночью. Меня не тревожили въ это время, и я спалъ спокойно. Но одинъ разъ дядя пришелъ съ кѣмъ-то. Было очень темно, когда вошелъ дядя и съ нимъ какой-то человѣкъ, присутствіе котораго я узналъ по шороху и кашлю.

— Вотъ ты гдѣ живешь!—сказало другое лицо грубымъ голосомъ и закашлялось.

— Это ты, братъ? — сказала тетка; голосъ ея дрожалъ.

— Я, сестра. (Я подумалъ: что это онъ все кашляетъ и какъ будто сопитъ?...).

— Ну, зажигай свѣчку. А тотъ спитъ?—проговорилъ дядя.

— Что ему...—сказала тетка.

Я догадался, что это вѣрно мой отецъ пріѣхалъ. Я задрожалъ, самъ не зная почему, и сталъ вслушиваться.

— Ну, что онъ?...—говорилъ посторонній.

— Смучились, братъ, смучились,—сказала тетка, зажигая свѣчку.

— Она избаловала,—проговорилъ дядя.

— А вы бы его хорошенько утюжили... заправски.

Я приподнялъ немного голову и сталъ смотрѣть на посторонняго человѣка, который, стоя у стола въ комнатѣ, закуривалъ дядину папироску, между тѣмъ какъ дядя снималъ съ себя сперва сюртукъ, потомъ жилетку и брюки. Гость былъ въ почтальонской одеждѣ; лицо его запухло, и видно, что давно не брито; самъ онъ роста средняго, не толстъ,—а видно, что тѣлосложенія здороваго! Онъ ничѣмъ не отличался отъ обыкновенныхъ разъѣздныхъ почтальоновъ. На видъ ему было годовъ двадцать восемь.

— А меня, братъ, просто измучили!.. — говорилъ онъ.—Я даже слышать сталъ плохо.

— Слышалъ я.

Тетка подошла ко мнѣ и сказала тихо:—вставай! отецъ пріѣхалъ...

Меня опять какъ будто обдало морозомъ; я не могъ пошевелиться, не могъ вымолвить ни слова.

— Вставай! Экой безстыдникъ... Тебѣ говорятъ, отецъ пріѣхалъ! — И тетка толкнула меня ногой. Я нехотя сѣлъ на войлокъ, который былъ постланъ на полу и на которомъ я спалъ.

— Боюсь,—сказалъ я.

— Ну, ну, не съѣстъ.

Я всталъ, надѣлъ халатъ. Тетка потащила меня въ комнату и подвела къ моему отцу, который оглянулся въ мою сторону и сталъ смотрѣть на меня какъ-то дико. Послѣдовала нѣмая сцена.

— Большой выросъ: женихъ...—сказалъ отецъ.

— Что же ты не здороваешься съ отцомъ-то?... Вѣдь это отецъ твой,—сказалъ дядя. Голосъ его дрожалъ.

— Ну, поцѣлуй у него ручку,—сказала тетка и утерла глаза рукавомъ. Я не двигался, молчалъ, дико смотрѣлъ на своего родителя и хотѣлъ убѣжать изъ комнаты поскорѣе, самъ не зная почему.

— Зачѣмъ!.. Ну, здравствуй... Слушаешься ли ты дядю и тетку?—проговорилъ отецъ и закашлялся.

— Слушаюсь,—сказалъ я и хотѣлъ еще что-то прибавить, да ничего не прибавилъ.

— Ну, и ладно... Слушаться надо.

Опять настала нѣмая сцена. Всѣ какъ будто тяготились чѣмъ-то; у всѣхъ какъ будто въ это время было тяжело на душѣ, но никто никому не высказывалъ своихъ чувствъ. Отецъ мой какъ-то печально смотрѣлъ на меня, дико смотрѣлъ на дядю и тетку, и изрѣдка кашлялъ.

— Что же ты не поцѣлуешь сына? — сказала тетка моему отцу.

— Да что его цѣловать-то?

— Все же, вѣдь онъ сынъ тебѣ.

— Что сынъ! не я его выростилъ.

— Ну, поцѣлуй!—настаивалъ дядя. Тетка подвела меня ближе къ отцу; тотъ нехотя прикоснулся своими щеками къ моему лицу и укололъ меня своими щетинами. Отъ него пахло водкой.

— Ты называй ихъ отцомъ и матерью, слышишь?— сказалъ мнѣ отецъ. Я ничего не сказалъ ему на это.

— Ну, спите!—сказалъ дядя. Я ушелъ въ кухню и легъ на свою постель. Отецъ говорилъ съ дядей.

— Ахъ, братъ, какъ меня избили тамъ! Ты не вѣришь, что этотъ смотритель каждый день топталъ меня ногами, билъ меня въ грудь...

— Плохо, братъ... Говорилъ я тебѣ: пей, братъ, меньше, а ты все свое.

— Не могу, братъ, досадно, больно.

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ недолго. Дядя и тетка уговаривали отца остаться ночевать у нихъ, но отецъ ушелъ спать въ контору. Когда онъ уходилъ, то сказалъ имъ: «прощайте!», а меня даже и не помянулъ. Послѣ его ухода я долго думалъ объ немъ. Я раньше думалъ, что онъ, когда увидитъ меня, обрадуется, будетъ цѣловать и плакать, — это я видалъ во многихъ семействахъ, гдѣ отцы долго бесѣдовали съ дѣтьми послѣ долгой разлуки съ ними; но вмѣсто этого я замѣтилъ, что отецъ мой обошелся со мной, какъ съ чужимъ. Я даже разсердился на него: отецъ ли онъ мнѣ, если и поговорить-то со мной, какъ слѣдуетъ, не хотѣлъ?... Утромъ отецъ пилъ у насъ чай и мнѣ ничего не сказалъ. Онъ говорилъ съ дядей и теткой больше о своемъ бѣдномъ положеніи, о смотрителѣ, у котораго онъ служилъ писаремъ, о разныхъ почтмейстерахъ и новомъ своемъ мѣстѣ. За обѣдомъ я уже не дичился его; я узналъ, что онъ не сердитый, и когда онъ остался одинъ со мной въ то время, когда дядя ушелъ въ контору, а тетка на рынокъ,—я началъ говорить съ нимъ, какъ со старымъ знакомымъ.

— Вы, тятенька, долго здѣсь проживете?

— Нѣтъ, а что?

— Такъ... Вы поживите!

— Чужой хлѣбъ ѣсть?.. Нельзя. — Онъ говорилъ нехотя, покуривая трубку съ махоркой и глядя въ уголъ.

— А скоро вы опять сюда будете?

— Не знаю...

— А у васъ есть деньги?

— Тебѣ на что?

— Надо... На пряники.

— Нѣту у меня денегъ.

Я почему-то выхватилъ у него трубку и сталъ курить, какъ обыкновенно дѣлывалъ съ почтальонами. Отецъ не препятствовалъ мнѣ, а только сказалъ.

— Валуешь ты много! Драть тебя надо, какъ сидорову козу... Дай трубку, ножевое вострее!

— А я не боюсь тебя, не боюсь! — И я корчилъ свое лицо.

— Тебѣ говорятъ — дай! — И онъ выхватилъ трубку.

— А ты, тятенька, какъ мнѣ будешь отецъ-то?

— Скажу я ужо брату-то, онъ тѣ скажетъ!— Отецъ плюнулъ въ уголъ и ушелъ отъ меня.

Вечеромъ за чаемъ и ужиномъ тетка долго говорила отцу объ моемъ непослушаніи и обо всѣхъ моихъ штукахъ; отецъ только отвѣчалъ: «дери ты его, сестра, что есть мочи дери... Ишь какой онъ востроглазый, такъ и глядитъ разбойникомъ».

— А ты, братъ, возьми его съ собой!

— Куда мнѣ съ нимъ?.. Не надо.

— Все же лучше. Тогда узнаешь, каковъ онъ.

— Мнѣ и одному-то горько жить, а онъ меня совсѣмъ свяжетъ.

— Теперь ужь онъ не маленькой.

— Не надо мнѣ его, сестра... Дѣлайте вы съ нимъ, что хотите, а мнѣ не надо.

— Только смотри, братъ, какъ онъ сдѣлаетъ что-нибудь, мы непремѣнно отошлемъ его къ тебѣ.

Отецъ на это ничего не отвѣчалъ. Пришла почта и онъ сталъ собираться въ дорогу.

— Простись съ отцомъ-то,—сказала мнѣ тетка. Мнѣ не хотѣлось прощаться съ нимъ, и жалко было, что онъ уѣзжаетъ.

— Ну, прощай! да смотри—слушайся, — сказалъ онъ мнѣ и пошелъ прочь.

Мнѣ тяжело было, что отецъ уѣхалъ, а я не высказалъ ему своего горя. Я готовъ былъ жить съ нимъ, и жалко мнѣ было дяди и тетки. Нѣтъ, думалъ я, онъ не отецъ мнѣ. Всѣ они врутъ, что онъ отецъ. Это я говорилъ съ досады, хотя и вѣрилъ, что онъ отецъ мнѣ. И долго я думалъ объ немъ. Часто я видалъ его во снѣ съ поднятымъ на меня кулакомъ и съ угрозами. Но потомъ я забылъ его совсѣмъ, до тѣхъ поръ, пока дядя не получилъ отъ него длиннаго письма, въ которомъ онъ писалъ, что онъ оглохъ и его обижаетъ почтмейстеръ... Черезъ годъ онъ проѣзжалъ черезъ нашъ городъ и обѣдалъ у насъ. Въ то время онъ былъ уже совсѣмъ глухъ, разговаривалъ мало, а со мной вовсе ничего не говорилъ и даже не простился, какъ поѣхалъ. Его перевели въ другой городъ. Цѣлый годъ онъ посылалъ дядѣ письма, въ которыхъ описывалъ свое горе, и то что его всѣ обижаютъ. Тамъ онъ рѣдко пилъ водку и скоро умеръ скоропостижно. Когда я узналъ объ его смерти, я долго плакалъ объ немъ. Горячи и ядовиты были мои слезы, и плакалъ я, какъ помню, потому, что теперь я остался безъ отца и безъ матери.

Дяди и тетки я въ это время какъ огня боялся; но такъ пріучился къ ихъ брани, что даже не обращалъ на нее вниманія. Кричитъ тетка, я вздрогну, побѣгу, куда она скажетъ, не дождавшись того, зачѣмъ мнѣ идти, и останавливаюсь дослушивать приказъ тогда, когда меня остановятъ затрещины. Кажется ужъ можно бы было пріучить себя къ тому, чтобы на все смотрѣть равнодушно, однако я былъ все-таки дикъ. Я постоянно сидѣлъ въ углу за дверями съ какой-нибудь книжкой или катехизисомъ, но эти книги были для меня мученьемъ. Хотя я и читалъ ихъ, но рѣшительно ничего не понималъ. Бывало держишь книгу, смотришь на буквы безсознательно, разсердишься, буквы словно прыгаютъ; потомъ плюнешь на страницу, закроешь ее другой страницей и любуешься, какъ слюна расползается; или намочишь палецъ слюной, прижмешь ее къ буквамъ и вырвешь такимъ образомъ нѣсколько буквъ. Это мнѣ очень нравилось, и я цѣлые дни проводилъ время такимъ образомъ. Когда надоѣстъ это, станешь что-нибудь рисовать на страницахъ, или пишешь на лоскуткѣ бумаги что-нибудь, обыкновенно два или три слова до тѣхъ поръ, пока на бумажкѣ уже не останется мѣста. Это я дѣлалъ секретно, потому что тетка часто заглядывала за дверь,—что́ я дѣлаю.

— Что ты дѣлаешь?

— Учу.

— То-то, учу.

Я зналъ, что она не умѣла читать и закрывалъ свое маранье страничкой. Но и это мнѣ надоѣдало. Мнѣ завидно было, что дѣти дяди Антипа читаютъ книги, и я сталъ воровать книги изъ дядина сундука, который стоялъ на погребѣ. Книги эти были старыя, разрозненныя, доставшіяся дядѣ неизвѣстно какимъ образомъ. Самъ дядя терпѣть не могъ читать никакихъ книгъ. Книги эти я кралъ такимъ образомъ: пойду на погребъ за сливками или молокомъ и подхожу къ сундуку. А что сундукъ этотъ съ книжками—я узналъ изъ того, что тетка однажды перебирала ихъ тамъ, отыскивая какіе-то инструменты. Если въ погребѣ нѣтъ никого, я прежде всего подбѣгаю къ сундуку, и если на него ничего не поставлено, тотчасъ отпираю крышку и вытаскиваю такую книгу, какая попадется подъ руку. Тетка не могла понять, что̀ я такъ долго дѣлаю въ погребѣ, а я говорилъ ей что-нибудь такое, за что она ограничивалась только одною бранью. Читалъ я секретно такимъ же образомъ, какъ и рисовалъ секретно: и дядя, и тетка долго не знали, чѣмъ я занимаюсь въ углу. Читалъ я все, что попадалось, съ любопытствомъ, хотя изъ этихъ книгъ я очень мало могъ пріобрѣсти для ума и многаго въ нихъ не понималъ. Антипинъ говорилъ дядѣ, что мнѣ не мѣшаетъ читать книги, и эти книги можетъ дать мнѣ его сынъ, но дядя сердился, говоря: «ему нужно уроки учить, а не книжки читать». Дядя разсуждалъ такъ объ этомъ потому, что былъ убѣжденъ, что читать книги есть праздность. Тетка же была такого мнѣнія, что можно читать только божественное, но и съ этимъ дядя рѣдко соглашался; и если тетка заставляла меня читать какія-нибудь проповѣди, взятыя ею у какой-нибудь знакомой, дядя гналъ насъ изъ комнаты, говоря, что мы мѣшаемъ ему. Каково же было удивленіе дяди и тетки, когда они узнали, что я таскаю книги изъ сундука! Тетка меня сама застала на практикѣ. И была же мнѣ хорошая баня послѣ этого, и хотя за мной строго слѣдили, чтобы я не читалъ ничего посторонняго, кромѣ арнеметики и катехизиса, и не одну книгу бросили въ печку, я все-таки продолжалъ читать тайкомъ.

При гостяхъ я велъ себя чинно, такъ что даже сама тетка удивлялась моему смиренію и прозвала меня *подхалюзой*. Если кто защищалъ меня, говоря, что я смирный, то тетка говорила: «полно-ка! въ тихомъ-то омутѣ черти и водятся», и при этомъ начинала подробно разсказывать о моихъ шалостяхъ и проказахъ. За то, если я уходилъ изъ дома, я, какъ говорится, «на колѣ дыру вертѣлъ». Тамъ я никого не боялся. Я дразнилъ почтальоновъ, какъ только умѣлъ, за что получалъ колотушки, за которыя на нихъ же жаловался своимъ воспитателямъ. Въ семействахъ мнѣ случалось рѣдко бывать; но за то если я бывалъ, то смѣшилъ всѣхъ своей фигурой, и тѣмъ, что умѣлъ всякаго представить: ка̀къ кто говоритъ, ходитъ и разсказываетъ,—все то, что только замѣчалъ изъ чьей-нибудь жизни или подслушалъ отъ нечего дѣлать. А подслушивать я былъ мастеръ и большой охотникъ. Я когда сидѣлъ въ углу за дверями, то часто, отъ нечего дѣлать, вертѣлъ въ стѣнѣ дыру гвоздемъ, и когда удостовѣрялся, что дыра на-сквозь, я осторожно наставлялъ на дыру ухо и слушалъ; если за стѣнкой было тихо, я залѣпливалъ дыру бумажкой. Впрочемъ, подслушивалъ я больше у дверей. Если напримѣръ я слышалъ, что ругали тетку тѣ, которые не любили ее, я радовался и желалъ услышать еще что-нибудь посердитѣе, а потомъ пересказывалъ ей. Такимъ образомъ я былъ сплетникомъ у воспитателей и у почтовыхъ семействъ... Тетка вѣрила моимъ пересказываньямъ и старалась мстить тѣмъ, кто обижалъ ее сплетнями; а почтовые не догадывались, какъ это тетка подслушала, потому что меня всѣ считали за такого человѣка, который не любитъ воспитателей и за хорошую плату готовъ имъ сдѣлать всякую пакость. Почтовые не обижались тѣмъ, что я по своему уму дразнилъ ихъ; для нихъ даже было удовольствіемъ потеребить меня и обругать; хотя я и обижался этимъ, но все-таки лѣзъ къ нимъ, потому что дома мнѣ было скучно, а они на меня никогда не жаловались. Въ контору я ходилъ чуть не каждый день и тамъ меня встрѣчали со смѣхомъ. Дядя самъ требовалъ, чтобы я бывалъ въ конторѣ для того, во-первыхъ, чтобы я не баловался дома и не мѣшалъ теткѣ, и во-вторыхъ, онъ зналъ, что я дома не учусь нисколько, и думалъ, что, ходя въ контору, я пріучусь къ почтовой службѣ. Сначала я только мѣшалъ почтовымъ: лазилъ на столы, кривлялся, ходилъ по тюкамъ, толкалъ почтальоновъ и сортировщиковъ подъ руки, когда они писали, и лѣзъ къ нимъ. Въ конторѣ мнѣ больше приходилось получать побоевъ, чѣмъ дома, но въ конторѣ мнѣ было очень весело. Такой простоты между служащими и безцеремонныхъ обращеній я впослѣдствіи не замѣчалъ ни въ одномъ присутственномъ мѣстѣ; даже въ этой конторѣ со временемъ многое измѣнилось отъ новыхъ порядковъ и отъ людей, которые теперь тамъ гораздо развитѣе, чѣмъ были въ мое время. Въ продолженіе двухъ лѣтъ, какъ я ходилъ въ контору, я выучилъ всю почтовую премудрость и даже умѣлъ класть на счетахъ, что было величайшею мудростью для многихъ почтовыхъ. Въ то время почтовые умѣли едва-едва писать, и съ нихъ большой грамотности не требовали. Почтмейстеръ меня любилъ и называлъ маленькимъ почтальономъ. Я даже имѣлъ тогда доходы отъ того, что записывалъ въ книгу, вмѣсто крестьянъ, денежныя письма, расписывался за неграмотныхъ и получалъ съ каждаго по три коп. сер. за одну росписку.

На двѣнадцатомъ году меня отдали опять учиться въ уѣздное училище. Но я три года проучился въ первомъ классѣ и ничего не понялъ. Объ умственномъ развитіи учителя не заботились, а учили насъ на зубряшку и ничего не объясняли; хорошіе же ученики другъ другу не показывали. Учителя считали за наслажденіе драть насъ. Здѣсь бѣгали отъ классовъ по крайней мѣрѣ двѣ трети учениковъ. Это были дѣти самыхъ бѣдныхъ родителей-мѣщанъ, дѣти чиновниковъ и купцовъ. Купеческія дѣти, правда, не бѣгали и ихъ не наказывали, потому что отцы ихъ дарили учителей. Я уже не бѣгалъ потому, что при-

выкъ къ розгамъ и дома меня уже не такъ стѣсняли. Дядя радовался, что я учусь, т. е. привыкаю къ чистописанію, и радовался тому больше, что очень много смыслю почтовую часть.

Я никого не боялся въ это время, кромѣ дяди и тетки, и обо всѣхъ разсуждалъ худо. Мнѣ никто не нравился въ губернскомъ городѣ вѣроятно потому, что о жителяхъ его худого мнѣнія были мои воспитатели, родня и знакомые. Аристократію дядя ненавидѣлъ и ругалъ ее при встрѣчѣ почти что вслухъ. Смотря на него, не любилъ аристократію и я. Дядя говорилъ, что въ уѣздномъ судѣ и въ прочихъ мѣстахъ берутъ взятки,—этому вѣрилъ и я, вѣрилъ потому, что всѣ говорили такъ. О своей конторѣ я думалъ, что это самое лучшее мѣсто, гдѣ только можно служить. Я видѣлъ, что всѣ, сколько ни есть въ городѣ людей, не могутъ обойтись безъ почты,—всѣ ходятъ получать и отправлять корреспонденцію, значитъ, почитаютъ почту, и я гордился почтой, дядей, почтмейстеромъ, который ругалъ въ глаза даже равныхъ ему. Вся почтовая дворня жила очень просто, патріархально: никто не стѣснялся ничѣмъ, сортировщики играли съ почтальонами въ бабки, женщины гостили другъ у дружки, и хотя было развито чинопочитаніе въ высшей степени, но все какъ-то выходило съ толкомъ и никто ни на кого очень не сердился, а былъ доволенъ своимъ положеніемъ. Я зналъ, что многіе служащіе другихъ вѣдомствъ жили на квартирахъ и жаловались на начальниковъ и на то, что имъ даютъ маленькое жалованье; я видѣлъ, что когда шелъ губернаторъ или какой-нибудь предсѣдатель—народъ сторонился, и этотъ же народъ не одобрялъ ихъ; я видѣлъ также, что всѣ эти важные люди ѣздили въ каретахъ, приказывали брать въ часть пьяныхъ, расцекали на улицахъ бѣдныхъ людей; я видѣлъ, что эти люди важничали, гордо говорили съ людьми ниже ихъ положеніемъ въ обществѣ,—какъ обѣгали ихъ тѣ, которые небогато одѣвались. Я и товарищи мои по училищу всячески старались передразнивать ихъ; кромѣ этого товарищи разсказывали про нихъ разные анекдоты, интересовались ими каждый день. Мнѣ досадно было, что товарищи наперерывъ разсказываютъ городскіе скандалы, а мнѣ нечего было разсказать изъ почтоваго быта. Дома я разсказывалъ теткѣ городскіе скандалы и происшествія такъ, какъ я слышалъ ихъ отъ товарищей, но тамъ уже знали про эти скандалы и происшествія. Долго послѣ этого я удивлялся тому, отчего это такъ всѣ интересуются разными происшествіями, и если напримѣръ къ губернатору пріѣхала сестра, то на другой день знаетъ весь городъ объ этомъ, и вездѣ только и разговора, что о пріѣздѣ къ губернатору сестры. А это очень просто: отецъ мальчика скажетъ дома о происшествіи, или мальчикъ узнаетъ это отъ такого же мальчика, игравши на улицѣ. Придетъ онъ въ училище, скажетъ одному и весь классъ знаетъ, а въ перемѣну—все училище. Это же пересказыванье идетъ и у служащихъ и ихъ женъ на рынкѣ, гдѣ всякую новость съ радостью сообщаютъ другъ другу, и она долго занимаетъ праздныхъ людей.

Въ это время въ городѣ было только одно гулянье лѣтомъ—бульваръ. Я часто ходилъ туда. Публики собиралось немного и то только у ротонды, гдѣ играли гарнизонные солдаты. Другой музыки въ нашемъ городѣ тогда еще не существовало. Позднѣе появился плохенькой оркестръ, но этотъ оркестръ игралъ только въ благородномъ собраніи для аристократіи... Мнѣ часто случалось съ людьми заглядывать въ окна дворянскаго собранія, несмотря на то, что насъ гнали прочь казаки палками. Мы смотрѣли изъ любопытства, какъ тамъ отплясываютъ, и это перенимали, стараясь такъ же отплясывать на улицахъ или гдѣнибудь на вечеркахъ. Я даже заходилъ въ самое собраніе, но меня всегда гнали прочь кулаками, и мнѣ больно было завидно, что есть счастливчики, равные мнѣ по годамъ, которые удостоиваются быть тамъ, и этихъ счастливчиковъ какъ я, такъ и товарищи мои не любили до того, что не давали имъ прохода по городу. Попадется напримѣръ баричъ,—я ему языкъ высуну. Онъ сбидится,—я толкну его; онъ обзоветъ меня подлецомъ,—я шапку съ него сброшу и убѣгу. Конечно это дѣлалось одинъ на одинъ, или толпа нашего брата нападала на толпу баричей, и тогда завязывалась драка, за которую насъ жестоко пороли... Мы ненавидѣли гимназистовъ по своему, тѣ ненавидѣли насъ, потому что мы были всегда сильнѣе ихъ. Они называли насъ уѣздниками и разными неприличными именами, мы тоже дразнили ихъ, какъ умѣли, и между ними и нами шла непримиримая вражда. Такъ же точно шла вражда и между семинаристами и гимназистами, и семинаристы сильно били за-городомъ своихъ противниковъ.

Рѣка наша немногимъ доставляла удовольствіе, и если кто любилъ сидѣть на берегу, такъ это только почтовые. Когда появился одинъ пароходъ, тогда берегъ стали посѣщать любопытные, и предметомъ ихъ любопытства былъ пароходъ. Когда же появилось больше пароходовъ, публикѣ надоѣли они, и она стала наслаждаться только однимъ гуляньемъ на бульварѣ. Берегъ только тогда и наполнялся людьми, когда шелъ ледъ на рѣкѣ и когда шли барки, но это былъ только безтолковый смотръ. Немногіе впрочемъ любили кататься на рѣкѣ и пить чай за рѣкой, но никто такъ не пользовался этимъ удовольствіемъ, какъ почтовые. Для насъ былъ большой праздникъ когда мы уплывали за рѣку и подъ открытымъ небомъ закусывали и пили чай. Но никто такъ часто не плавалъ за рѣку, какъ дядя Антипинъ. Я часто просился, чтобы онъ взялъ меня съ собой. Придетъ онъ къ намъ и отпроситъ у дяди меня. Отправимся мы за рѣку съ удилишками съ вечера; поудимъ немного, разведемъ огня и сидимъ всю ночь у огня. Здѣсь я забывалъ все, что мучило меня въ эту недѣлю или въ этотъ день, и какъ хорошо мнѣ казалось такое сидѣнье у горящаго хвороста, это уединеніе, этотъ просторъ и свѣжесть воздуха! Понималъ ли дядя Антипинъ все это—не знаю, только онъ говорилъ, что здѣсь онъ какъ будто отдыхаетъ. Чего-то, чего мы не говорили въ то время! Онъ очень любилъ меня и много разсказывалъ мнѣ и своимъ дѣтямъ хорошаго, какъ иногда дома; я заслушивался его и забывалъ въ это время городъ, который казался мнѣ пугаломъ; я дышалъ свободно, и съ какой лю-

бовью смотрѣлъ я на рѣку, на лѣсъ и необъятное пространство, но и тутъ я ничего не понималъ, а только смотрѣлъ во всѣ глаза...

Хорошее это было время. Случалось мнѣ бывать и послѣ за рѣкой, ходить въ лѣса, но уже чувствовалось иначе...

Былъ у насъ также и театръ. Всѣ почтовые ходили въ театръ даромъ, и дядя каждый разъ, какъ бывалъ веселъ, бралъ меня съ собой. Сначала мнѣ нравилась публика, собраніе народа; потомъ меня смѣшили актеры и я такъ пристрастился къ театру, что плакалъ, когда дядя не бралъ меня съ собой или не отпускалъ въ театръ. Приходя домой, я старался говорить такъ же, какъ и актеры, но я не могъ говорить такъ, и у меня выходило очень смѣшно. Въ училищѣ до классовъ я разыгрывалъ роль какого-нибудь актера и меня прозвали фокусникомъ. Былъ у меня тамъ одинъ товарищъ, который жилъ съ актерами и переписывалъ имъ роли. Съ нимъ мы постоянно что-нибудь декламировали и что-нибудь разучивали по тетрадкамъ и безъ тетрадокъ. Какъ мнѣ, такъ и ему хорошо казалось быть актеромъ, мы запоминали изъ разныхъ сценъ въ десять разъ болѣе того, что заставляли насъ учить въ училищѣ. Два года я ходилъ въ театръ, зналъ много сценъ и пѣсенъ и даже разъ просилъ дядю, чтобы онъ отпустилъ меня въ актеры, но онъ обругалъ меня и не сталъ пускать больше въ театръ.

Я ходилъ въ училище четыре года, и въ это время ровно ничего не понималъ изъ задаваемыхъ уроковъ, да и вообще мнѣ не до уроковъ было. Въ классѣ я сидѣлъ просто для своего удовольствія. Меня не драли, потому что я старался выслужиться передъ учителями и смотрителемъ тѣмъ, что замѣнялъ имъ сторожа: приносилъ имъ письма, пакеты и сдавалъ ихъ корреспонденцію. Съ какою радостью я шелъ въ училище тогда, когда несъ какому-нибудь учителю письмо!.. Учитель мнѣ не говорилъ благодарности, а за то не спрашивалъ меня изъ уроковъ цѣлую недѣлю, а если и спрашивалъ, то не оставлялъ безъ обѣда. Такъ же съ неописанною радостью я смотрѣлъ на того учителя, который писалъ кому-нибудь письмо. Ребята рады были, что учитель отвлеченъ отъ занятій, а я думалъ, что кромѣ меня отнести на почту письмо некому. Письмо написано; учитель проситъ бумаги, весь классъ вмигъ зашевелится и предлагаетъ ему кто листъ, кто поллистъ, а я предлагаю сдѣланный уже конвертъ. Запечатавши письмо, учитель отдавалъ его мнѣ съ 10-ю копѣйками. Я бралъ и говорилъ, что денегъ не надо, что я попрошу дядю. Учитель бралъ деньги назадъ. Я уходилъ домой или въ контору, стараясь придти въ классъ къ чистописанію или къ такому предмету, который былъ для меня какъ блины, т. е. по которому меня никогда не спрашивали. Письмо я отдавалъ дядѣ, который, хотя и ругалъ учителей, а письма все-таки отправлялъ. Если же учителя и отдавали мнѣ деньги на простыя письма, я все-таки деньги бралъ себѣ и дядя отправлялъ письма или даромъ, или на свой счетъ. Смотритель всегда спрашивалъ меня о приходѣ почтъ, и если ему нужна была какая-нибудь почта, онъ посылалъ меня справиться. Одинъ учитель постоянно называлъ меня почтой, и я слылъ по всему училищу почтой.

— Эй, почта! пришла такая-то почта?

— Нѣтъ еще... Сходить узнать?—говорю я и беру уже шапку.

— Ишь, шельма, радъ. Я тебя еще урокъ спрошу, а потомъ на почту пошлю.

Весь классъ хохочетъ, а я начинаю сердиться и придумываю, какъ бы уйти домой.

— Почта скоро будетъ!—говорю я.

— Радъ, радъ. Ну-ко, скажи урокъ. Не знаешь? А?

— Знаю.

— Ну-ко, иди къ доскѣ.

Пойду я къ доскѣ и хлопаю глазами.

— Ну что? А еще почта... Хошь, выдеру?

Классъ хохочетъ, а мнѣ досадно и я думаю: ужъ сдѣлаю же я съ тобой штуку: не принесу письма и поди самъ; или изорву твое письмо, самъ прочитаю, всему классу разскажу. Учитель меня не выдеретъ, поставитъ противъ моей фамиліи палку въ своемъ журналѣ, а на почту все-таки пошлетъ. На палки я не обращалъ вниманія, зная то, что смотритель меня не выдеретъ, а если и выдеретъ разъ въ мѣсяцъ, такъ это еще не бѣда. По окончаніи мѣсяца смотритель дралъ всѣхъ лѣнивыхъ всего училища, въ томъ числѣ и меня. Зная, что смотритель даетъ первымъ наказываемымъ много ударовъ, я становился въ разрядъ самыхъ послѣднихъ, которымъ приходилось меньше ударовъ и гораздо легче, потому что сторожъ уставалъ; да и меня сторожъ наказывалъ легче, потому что я въ этотъ день дарилъ его десятью копѣйками денегъ; а раньше приносилъ ему калачей, какъ и прочіе товарищи.

Еще было другое обстоятельство, по которому учителя обращались со мной очень ласково, и чего не могъ сдѣлать въ училищѣ ни одинъ ученикъ. Я носилъ учителямъ газеты, журналы и картинки. Это дѣлалъ я очень просто.

Въ контору я ходилъ всегда: днемъ и ночью, и при почтахъ. Такъ какъ дома мнѣ запрещалось читать книги, то я выдумалъ средство читать ихъ въ училищѣ, а достать книги я легко могъ изъ конторы. Газеты и журналы разносили по городу сторожа, а сторожа эти были неграмотные. Когда придетъ тяжелая почта, я всячески стараюсь угодить очередному сторожу чѣмъ-нибудь для того, чтобы онъ попросилъ меня сдѣлать подборку журналовъ и газетъ по городу; а раньше этого я высматривалъ, что лучше утащить, соображалъ, какъ утащить, и между тѣмъ терся у тѣхъ сортировщиковъ, которые читали газеты, которые имъ дозволялось получателями распечатывать. Сторожа, какъ и почтальоны, дѣлали подборку такъ, чтобы имъ идти по городу по порядку, изъ дома въ домъ, и назадъ не ворочаться изъ улицы въ улицу.

— Ну-ко, подберемъ разноску!—говоритъ мнѣ сторожъ; я радъ, чуть не прыгаю, а ему говорю.

— Много ли дашь?

— Сургучикъ дамъ.

— Мало!

— Свинчатку... (я бралъ свинчатки, прибиваемыя къ чемоданамъ; мой дядя и я употребляли ихъ на гру-

*

зила для рыболовства; а какъ ихъ у меня и безъ даренья сторожами было много, потому что я ихъ воровалъ, то я продавалъ ихъ рыболовамъ).

— Не хочу.

— Ну, ну, полно... мнѣ некогда, подметать надо въ конторѣ.

И начинаемъ мы подборку такъ:

— Кто первый?—спрашивалъ я.

— Первый Елисѣевъ, не знаешь разѣ?..

Я ищу Елисѣева и подаю сторожу.

— Антоновъ теперь.

Я нахожу Антонова и подаю ему книгу Шатилову.

— Шатиловъ послѣ; онъ въ серединѣ. Ивановъ теперь будетъ.

Я ищу Иванова, откладываю его въ сторону; опять ищу и говорю сторожу, Иванова нѣтъ.

— Ну, послѣ найдемъ; давай Петрова! — И такъ продолжается до половины подборки. Я слегка сброшу газеты двѣ на полъ.

— Все ты, бестія, балуешь! — сторожъ подбираетъ съ полу газеты, а я тѣмъ временемъ и схвачу двѣ газеты и спрячу ихъ подъ сюртукъ, придерживая ихъ лѣвой рукой незамѣтно.

— Ну, теперь? — спрашиваю я.

Если мнѣ не удается стянуть при подборкѣ, я подкарауливаю, куда сторожъ положилъ сумку съ газетами и книгами; потомъ уже послѣ успѣю утащить. По этому обстоятельству сторожа почти каждый разъ приходили съ руганью:

— Чортъ его знаетъ!—пришелъ къ Петрову: искали, искали ему газеты, ровно подбирали, а Петрову нѣту.

— Ну, потерялъ, выходитъ,—смѣются почтальоны.

— Чортъ его знаетъ!

Я говорю, что или были газеты, или нѣтъ. Получатель на сторожа не жаловался и сторожъ только сѣтовалъ за гривну мѣди, которой онъ лишился. Если получатель не получалъ книги или много №№ газетъ, онъ жаловался конторѣ, та отписывалась, куда слѣдуетъ, оттуда получались отвѣты: «отправлены по принадлежности»; тѣмъ дѣло и кончалось.

Письма и казенные пакеты разбрасывались по столамъ небрежно. Мнѣ нравились красивые конверты и я кралъ письма и пакеты. Утащивши, я забирался въ такое мѣсто, гдѣ никто не могъ видѣть, распечатывалъ и читалъ ихъ. Какъ бумаги, такъ и письма не интересовали меня и я бросалъ ихъ черезъ заборъ или куда-нибудь въ такое мѣсто, откуда ихъ никто бы не досталъ. Отъ этого чтенія я узналъ только форму канцелярскаго изложенія и разныя тайны людей. Приходя въ классъ, я давалъ учителямъ газеты и книги, говоря, что это дядины. Учителя рады были почитать новостей и всегда спрашивали меня:

— Пришла почта?

— Пришла.

— Есть газеты?—И т. д.

Ученики были рады, что учителя занимаются чтеніемъ цѣлые часы, и всѣ въ это время свободно шалили. Большею частію учителя уносили газеты и книги домой, и мнѣ ихъ рѣдко возвращали, а если и возвращали, то я дарилъ ихъ своему пріятелю, сидѣвшему со мной рядомъ, тому самому, съ которымъ я представлялъ актеровъ.

И такъ, житье мнѣ было хорошее: въ классѣ я только числился, въ почтѣ меня любилъ почтмейстеръ за то, что я уже знаю хорошо почтовую часть, и поговаривалъ дядѣ, что онъ меня сдѣлаетъ сортировщикомъ.

Я зналъ весь почтовый механизмъ и помогалъ то дядѣ, то какому-нибудь почтальону. Въ свободное время я писалъ крестьянскія письма и такъ пріучилъ крестьянъ къ себѣ, что они шли больше ко мнѣ, чѣмъ къ почтальонамъ. Приходитъ крестьянинъ въ контору и говоритъ:

— Мнѣ бы грамотку послать.

Я подхожу къ нему первый и спрашиваю:

— А написана?

— Надобно написать.

— Ну иди, я напишу.

Крестьянинъ съ недовѣріемъ посмотритъ на меня.

— А сумѣешь ли экой-то?

— Не тебѣ первому пишу. Много ли дашь?

— А ты что возьмешь?

— Двадцать копѣекъ?

— Дорогонько.

Подходитъ почтальонъ и перебиваетъ:

— Я напишу тебѣ.

— А ты за сколько?

— Четвертакъ.

Я соглашаюсь за пятнадцать и начинаю писать крестьянину письмо. Писать крестьянамъ письма очень трудно. Они не знаютъ формы изложенія, посылаютъ больше поклоны, и нужно умѣнье написать то, что они хотятъ высказать, да не умѣютъ высказаться. Я писалъ имъ всегда ихнимъ слогомъ, потому что инымъ слогомъ я тогда и не умѣлъ писать. Налажусь я совсѣмъ писать и спрашиваю: кому писать?

— Да сыну родному; третій годъ не писывали. Нынче грамотку прислалъ, родной.

Я спрашиваю имя.

— Илья Якимовъ.

— А твоя фамилія какъ?

— Якимовъ.

— А зовутъ?

— Петромъ.

Я и пишу такъ: «Любезный сынъ, Илья Петровичъ!» А почтальоны обыкновенно писали Илья Якимычъ и на конвертахъ ужасно путали, отчего письма постоянно возвращались назадъ или пропадали на почтѣ. Послѣ родительскаго благословенія слѣдовали поклоны отъ двадцати человѣкъ, которыхъ непремѣнно нужно назвать по имени и отчеству. Письмо кажется уже кончено, а окажется еще надо что-то написать. Прочитаешь крестьянину письмо.

— Ладно,—говоритъ онъ.

— Еще что?

— Да что еще, ровно будетъ... Надо бы написать; Сергунька Лихой въ городъ нонись ушелъ.— да ужъ плевать...

— Ничего, напишемъ,

— Ну, пиши еще.

— А еще что?

— Кирьянъ Панфиловъ погорѣлъ, жена ногу сломала; такая оказія вышла—ужасти! наказанье Божье.

И пойдетъ крестьянинъ расписывать свое горе; я хотя и позабуду все, а напишу что слѣдуетъ. И все, что

прибавляется, читаю съ началомъ по нѣскольку разъ. Наконецъ письмо кончено совсѣмъ.

— Ну-ко, прочитай еще.

Я начинаю читать, двое или трое крестьянъ слушаютъ.

«Любезный сынъ,
Илья Петровичъ!

«Желаю тебѣ съ женою своей, твоей матерью, Маланьей Акудиновой, доброва здоровія, хорошихъ успѣховъ въ дѣлахъ твоихъ и посылаемъ тебѣ наше заочное родительское благословеніе, на вѣки нерушимое, и посылаемъ по поклону. Молимъ Господа Бога, царя небеснаго и пресвятую мать владычицу, чтобы они спасли тебя и помиловали. Тетушка Арина Поликарповна и дядюшка Евстегнѣй Поликарпычъ кланяются тебѣ. Крестный батюшка, Антипъ Савичъ, и крестная твоя матушка, Акулина Марковна, желаютъ тебѣ здоровья, посылаютъ свое благословеніе и кланяются. У тетушки Маланьи Степановны родился сынокъ Петруша. Тетушка Маланья Степановна съ дѣтками Петрухой, Кирьяномъ, Ларькой и Петрушкой кланяются... А Сергунька Лихой, что ишь укралъ лошадь у Павла Безпалова, нонись въ городъ ушелъ работать, а дѣтей оставилъ съ матерью».

— Надо бы прибавить: Маланья-то хочетъ тоже въ городъ идти,—перебиваетъ посторонній крестьянинъ.

— А зачѣмъ?—спрашиваетъ хозяинъ письма.

— Ужъ все къ одному бы.

— Ну, нешто, пиши.

Я впишу.

«Кирьянъ Панфиловъ погорѣлъ зимусь: все до тла сгорѣло. А жена его, слышь ты, ногу сломала. Наказанье Божье. Хлѣба нынѣ плохи, а начальство строго, все наровитъ стянуть съ нашего брата. Кланяются тебѣ всѣ знакомые и пріятели. При семъ посылаю тебѣ три руб. сер., насилу-насилу собрали. Остаюсь здоровъ, отецъ твой Петръ Якимовъ».

Крестьяне въ восторгѣ отъ этого письма и наперерывъ просятъ меня сочинять имъ письма. Около меня собирается кучка. Приходятъ тѣ, которымъ писали почтальоны.

— Написалъ?— спрашиваютъ крестьянина товарищи, видя у него въ рукѣ конвертъ.

— Написалъ,—да ровно негоже.

— А вотъ этотъ мастеръ... А тебѣ, братанъ, который годъ?

— Скоро четырнадцатый будетъ.

— Ишь ты! прозвитеръ какой...

— А ну-ко, прочитай, братаникъ.

Я прочитаю. Онъ проситъ меня написать ему письмо снова.

Написавши крестьянину письмо, я изъ жалости къ нему давалъ ему свой сургучъ и печатку даромъ. Я зналъ, что всѣ почтовые отправляютъ свои письма даромъ, и даромъ же отправляютъ письма своихъ знакомыхъ и доставляютъ по принадлежности письма не крестьянскія. Крестьянинъ обыкновенно отдавалъ письмо почтальону, потому что онъ боялся опустить простое письмо въ ящикъ, думая, что оно не дойдетъ; а какъ на простыхъ письмахъ адресы писались невѣрно, то почтальоны дѣлали такія штуки: скажетъ крестьянину, что онъ довезетъ письмо самъ, сдѣлаетъ конвертъ, запечатаетъ, возьметъ съ него пятнадцать коп., а потомъ письмо изорветъ и деньги возьметъ себѣ. А такъ какъ крестьяне большею частію думали, что простое письмо не дойдетъ, то они посылали ихъ съ деньгами. Денежное письмо каждому крестьянину обходилось очень дорого: за бумагу онъ заплатитъ 2 коп., за сочиненіе письма 20 коп., за сургучъ и печать дастъ сторожу 6 коп. (хотя печатка и возвращалась сторожу обратно), страховыхъ и вѣсовыхъ за одинъ лотъ съ однимъ рублемъ 14 к. и за росписку въ книгѣ шесть коп. Если же крестьянинъ посылалъ только десять коп., то ему отправка письма стоила дороже посылаемой суммы.

Почтальоны ругали меня, что я отбиваю отъ нихъ доходъ, но я не обращалъ на это вниманія. Я хотѣлъ угодить крестьянамъ, потому что они мнѣ нравились, да и дядя всегда говорилъ мнѣ, что крестьяне—народъ бѣдный, и всѣ мы ѣдимъ крестьянскій хлѣбъ и живемъ большею частію на крестьянскія деньги. Тетка и дядя были въ восторгѣ отъ того, что я получалъ въ конторѣ доходы, и на мои деньги покупали мнѣ ситцу и сластей. Кромѣ этой траты у меня все-таки были деньги.

Между тѣмъ моя практика по кражѣ корреспонденціи усиливалась все больше и больше; въ конторѣ начали уже серьезно подумывать, что это вѣроятно продѣлки кого-нибудь изъ почтовой братіи. На меня не было подозрѣній, тѣмъ болѣе, что я жилъ у дяди,—человѣка любимаго почтмейстеромъ. Мнѣ такъ понравилось красть, что я не пропускалъ ни одного дня и ни одного случая, чтобы не стянуть чего-нибудь. Не ограничиваясь однѣми газетами, я воровалъ пакеты и письма, потомъ рвалъ ихъ и бросалъ въ чужой огородъ по ночамъ, думая, что тамъ самое безопасное мѣсто для ихъ вѣчной памяти. Все, что мнѣ нравилось, я носилъ въ училище и отдавалъ учителямъ, потому что дома мнѣ нельзя было держать ничего изъ ворованнаго. Наконецъ мнѣ уже стыдно казалось воровать; я сознавалъ, что дѣлаю скверно, отдавая другимъ, а самъ для себя ничего не пріобрѣтая; я думалъ, что сколько я ни пакостилъ прежде, всѣ штуки мои не сходили мнѣ даромъ, такъ и теперь могутъ открыть мои продѣлки, но я все-таки еще думалъ, что узнать, что я ворую, трудно, и я продолжалъ свое ремесло. Приходилъ я домой изъ училища съ боязнію: вотъ узнали, что ворую. А въ конторѣ что скажутъ?.. Мнѣ хотѣлось остановиться и не красть больше; но когда я ничего опаснаго не замѣчалъ въ почтѣ, я другимъ утромъ уже тащилъ въ классъ картинку или газету. Шелъ я съ трепетомъ и думалъ: «Господи! какъ бы не узнали! Ужъ я въ послѣдній разъ это дѣлаю...»— И это я говорилъ не десять разъ, а безъ счету.

Однако и этому пришелъ конецъ.

Дѣло было въ великій постъ. Учитель читалъ газету. Въ классъ вошелъ сортировщикъ, врагъ моего дяди. Онъ вѣжливо поздоровался съ учителемъ. Меня обдало морозомъ по кожѣ, я догадался, зачѣмъ онъ пришелъ. Я готовъ былъ бѣжать въ это время изъ училища и броситься въ рѣку. Долго этотъ сортиров-

щикъ шептался съ учителемъ, и я ясно слышалъ свою фамилію, газеты, книги, пакеты. Учитель отдалъ ему газету; сортировщикъ вызвалъ меня изъ класса.

— Ты воровалъ газеты?

— Нѣтъ, съ чего вы взяли?—я очень обидѣлся и чуть не обругалъ его.

— А это что?—и онъ показалъ мнѣ газету.

Я запирался. Онъ спросилъ другихъ учителей, и тѣ сказали, что я носилъ много газетъ и книгъ. Пришелъ смотритель и началъ допросъ. Я долго запирался, но когда онъ сталъ пугать меня военной службой, я все сказалъ.

Черезъ часъ отъ моего друга привезли цѣлый ящикъ съ газетами и книгами. Сортировщикъ привезъ меня съ ящикомъ къ конторѣ; я убѣжалъ домой. Дядя въ это время говѣлъ и былъ въ церкви, тетка что-то шила. Я какъ вошелъ, заплакалъ, упалъ передъ ней на колѣни и ничего не могъ выговорить. Тетка испугалась, задрожала.

— Что съ тобой?

Я ничего не говорилъ.

— Выгнали тебя, что ли?

— Нѣтъ... Я газеты воровалъ...—И я залѣзъ на печку, думая, что меня никто тамъ не найдетъ. Тетку это такъ поразило, что она заплакала. Я думаю, ей очень больно было въ это время.

Меня позвали въ контору. Я не шелъ, однако тетка прогнала меня съ печки кочергой. Въ конторѣ всѣ смотрѣли на меня съ удивленіемъ и презрѣніемъ—уже совсѣмъ иначе, какъ смотрѣли вчера. Я плакалъ и меня ввели въ присутствіе, гдѣ было очень много народу по случаю набора; на полу валялись бумаги...

— Ахъ, ты мошенникъ! Въ острогъ его, каналью, посадить!—закричалъ почтмейстеръ.

Меня повели въ письмоводительскую. Тамъ тоже были разбросаны разныя бумаги, газеты и книги. Письмоводитель что-то писалъ, напугалъ меня такъ, что я сознался въ воровствѣ, отвѣчалъ, самъ не зная что, и подписалъ какую-то бумагу.

Между тѣмъ пришелъ въ контору дядя въ страшномъ испугѣ. Почтмейстеръ обругалъ его: дядя только молчалъ. Все дѣло было въ томъ, что въ огородѣ, куда я бросалъ бумаги, стаялъ снѣгъ; стали убирать разный хламъ и нашли разныя бумаги и нераспечатанные пакеты.

Тогда мнѣ былъ четырнадцатый годъ.

На другой день меня выгнали изъ училища. Учителя отперлись отъ всего, говоря, что хотя я и носилъ газеты, но они думали, что это дядины, а не городскія. Обо мнѣ заговорилъ весь городъ. Дядя не выгналъ меня изъ дома, даже не выдралъ, а ходилъ какъ помѣшанный цѣлую недѣлю. Съ этого дня я числился подъ судомъ, и мое дѣло продолжалось цѣлые два года.

Тяжело мнѣ было жить въ эти годы. Сначала мнѣ было стыдно выйти изъ дома, стыдно встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь; всѣ друзья мои отшатнулись отъ меня, и я сидѣлъ дома въ углу за дверьми, читая географію или катехизисъ... Книги не шли на умъ, а я все думалъ объ томъ, что-то со мной будетъ. Я сознавалъ, что я обидѣлъ дядю, сдѣлалъ ему большое зло... Я готовъ былъ Богъ знаетъ что сдѣлать для дяди, только бы онъ не сердился и прекратилъ всякое дѣло. Меня хуже прежняго стали ругать, корили роднымъ отцомъ, грозились отдать въ солдаты и требовали, чтобы я все дѣлалъ съ толкомъ. Въ это время я былъ слугой дяди и тетки: носилъ воду, дрова и дѣлалъ все, что только дѣлаетъ прислуга, и я былъ доволенъ этимъ. Много я передумалъ въ это время; мнѣ хотѣлось исправиться, но мнѣ трудно было отстать отъ воровства; хотѣлось говорить съ теткой ласково, но я не могъ ей слова сказать такъ, потому что я былъ очень запуганъ, а языкъ точно прилипалъ во рту... Часто я плакалъ съ горя и давалъ Богу обѣты, что пойду въ монастырь... Въ моей головѣ былъ чистый хаосъ: то рисовались какія-то страшныя картины, то чего-то хотѣлось, то мнѣ себя было жалко, то я думалъ объ дядѣ, то мнѣ уйти куда-то хотѣлось, то не нравился весь городъ со всѣми людьми. Но, какъ помню теперь, я ничего тогда не могъ осмыслить, а только сваливалъ всю вину на людей.

Дядя много истратилъ денегъ по моему дѣлу, много хлопоталъ, а я все сидѣлъ дома. Наконецъ меня послали въ монастырь на три мѣсяца. Въ монастырѣ я носилъ воду, дрова, пѣлъ и читалъ въ церкви и исправлялъ тамъ самыя низшія должности, за что меня часто поили пивомъ, брагой и водкой.

Многому я насмотрѣлся въ монастырѣ. Мнѣ нравилась тамошняя жизнь, потому что многіе тамъ рѣшительно ничего не дѣлали. Мнѣ весело тамъ было, но и не нравилось то въ нихъ, что они живутъ полумонашески и полу-свѣтски. Тамъ я видѣлъ только черныя рясы, а жизнь была такая же, какъ у свѣтскаго духовенства... Сначала мнѣ хотѣлось остаться тамъ, но когда я пожилъ среди братіи, приглядѣлся къ нимъ и понялъ, что я еще не нищій и могу самъ пріобрѣтать себѣ кусокъ хлѣба честнымъ, безукоризненнымъ трудомъ, я отказался отъ прежнихъ своихъ намѣреній... «Ужъ развѣ, думалъ я, совсѣмъ состарѣюсь, или мнѣ будетъ лѣнь работать въ мірѣ,—тогда изберу себѣ этотъ образъ жизни». А къ этому заключенію я пришелъ уже тогда, когда кончался срокъ моего пребыванія тамъ, и потому, что одинъ добрый и образованный монахъ жалѣлъ меня. Онъ говорилъ мнѣ много о своемъ житіи, въ которое онъ попалъ не по своему желанію.

Не знаю, вынесъ ли я что-нибудь хорошаго изъ монастыря, передѣлалъ ли онъ сколько-нибудь меня? Впечатлѣнія, вынесенныя оттуда, остались даже до сихъ поръ; до сихъ поръ я не могу забыть всего того, что пришлось мнѣ испытать тамъ; два года меня тянуло туда, но мнѣ какъ-то особенно нравилось свѣтское общество. Я сдѣлался задумчивъ; много я думалъ о всякой-всячинѣ, но ничего не могъ придумать хорошаго самъ собой, ничѣмъ не могъ утѣшить себя. Ни тетка, ни дядя, ни мои знакомые, ни учителя, ни даже законоучитель не могли мнѣ объяснить моихъ вопросовъ. Мнѣ говорили, что я задаю себѣ вопросы по глупости, и я долженъ вѣрить тому, что написано и чему насъ учатъ. А мнѣ этого мало было; мнѣ досадно становилось, что я не могу найти себѣ такого человѣка, съ которымъ бы мнѣ можно было посовѣтоваться и который бы научилъ меня уму-раз-

уму. Я учился опять въ томъ же училищѣ и учился уже хорошо. Меня ставили въ примѣръ; и хотя наши учителя были люди молодые, заботящіеся о развитіи мальчиковъ не розгами, а толкомъ, но они ничего мнѣ не могли сказать, а только говорили: «тебѣ еще много учиться надо». Но мнѣ приближался уже девятнадцатый годъ; дядя хотѣлъ опредѣлить меня на службу, а объ ученіи и думать не велѣлъ; къ тому же онъ и не имѣлъ денегъ, чтобы я могъ поступить въ гимназію. Въ это время я много занимался книгами, но какъ помню, то были все глупыя книги. Хотя въ училищѣ и была библіотека, но смотритель не давалъ ученикамъ книгъ; если же я просилъ книгъ у учителей, они говорили, что у нихъ нѣтъ для меня книгъ.

Въ это время дядя и тетка не бранили меня, потому что я всячески старался дѣлать такъ, чтобы не сердить ихъ. Мнѣ жалко было ихъ потому, что я много сдѣлалъ имъ непріятностей. Наши знакомые удивлялись, что я веду себя, какъ слѣдуетъ, хорошо, и ждали случая, когда я сдѣлаю что-нибудь такое, что небу будетъ жарко. Я постоянно сидѣлъ дома или рыбачилъ съ дядей и постоянно молчалъ, потому что говорить съ дядей и теткой нечего было, да они и не любили со мной разговаривать. Всѣ игры я называлъ глупостью и удивлялся, почему это люди женатые дѣлаютъ глупости. Я начиналъ приглядываться ко всему: къ семейной жизни людей, къ обращеніямъ и ко всему, что только попадалось на глаза... Работы въ моей головѣ много было; я старался самъ все понять, но чувствовалъ, что я еще больно глупъ и неразвитъ. Досадно мнѣ было, и думалъ я въ это время: «хорошо бы мнѣ умереть теперь, а то для чего я буду жить?»... Можетъ быть, я думалъ это оттого, что мнѣ страшно опротивѣлъ городъ, а, можетъ быть, и оттого еще, что мнѣ хотѣлось жить одному, а этого я никакъ не могъ сдѣлать, и не было у меня ни одного такого человѣка, съ которымъ бы можно было, какъ говорится душу отвести.

Дядя крѣпко начиналъ попивать водку и говорилъ, что онъ пьетъ отъ меня, съ горя. Тетка очень любила дядю и всячески совѣтовала ему не пить водку, но онъ кричалъ на нее и билъ ее. Потомъ онъ пристрастился къ карточной игрѣ, просиживалъ ночи, проигрывалъ деньги. Тетка цѣлую ночь ждала его и плакала; утромъ, когда приходилъ онъ злой, она капризничала, дулась цѣлый день. Но ея капризы ни къ чему не повели. Начались разныя возмутительныя сцены, раздоры: дядя гналъ тетку, она не шла.

На девятнадцатомъ году я кончилъ курсъ. Я очень веселый возвращался домой съ акта, держа въ рукѣ аттестатъ. Тетка меня ждала и встрѣтила у калитки со словами:

— Ну что? еще на годъ оставили?

— Нѣтъ, вотъ аттестатъ!—Я показалъ ей бумагу.

— Едва-то, едва выучился.—А на глазахъ ея были слезы. Мнѣ тоже хотѣлось плакать и я поклонился ей въ ноги.

— Покорно благодарю, маменька. Покорно благодарю за все,—сказалъ я.

— То-то и есть. А сколько ты намъ бѣдъ-то надѣлалъ! Сколько ты намъ стоишь?

— Простите!

— Благодари отца, а я что!....—И она поцѣловала меня.

Дядя холодно принялъ мою благодарность. Прочитавши аттестатъ, онъ сказалъ мнѣ:

— Вотъ, скотъ ты эдакой... Ты долженъ ноги мои мыть и воду пить... Сколько я истягался на тебя, а?

— Покорно благодарю, папенька.

— Ну, то-то. Всѣ вы не чувствуете добродѣтелей.

— Полно... Авось онъ и не забудетъ насъ,—вступилась тетка.

Этотъ день я провелъ лучше всѣхъ другихъ дней моей жизни. Когда я легъ спать, то долго-долго думалъ о томъ, что было со мной до этого, и плохо мнѣ какъ-то вѣрилось, что я теперь уже самъ имѣю права и самъ скоро буду такимъ же, какъ и мой дядя... Я вспомнилъ отца и по привычкѣ плакать горячо плакалъ, думая:—«эхъ отецъ! Посмотрѣлъ бы ты теперь на меня... Обрадовался бы ты, или нѣтъ?»... И какъ я благодарилъ въ душѣ дядю и тетку!—«Какъ только буду я получать хорошее жалованье, непремѣнно куплю ей на платье, а дядѣ на сюртукъ... Ужъ буду же я кормить и поить ихъ, чтобы они не сердились на меня».

Я чувствовалъ, что теперь какъ будто съ моихъ плечъ свалилась какая-то тяжесть, мнѣ казалось, что я теперь пожалуй равенъ сортировщикамъ и вообще служащимъ въ губернскихъ присутственныхъ мѣстахъ. Дядя, какъ я замѣчалъ, гордился мною, тетка не бранила за куреніе табаку, а только ворчала на то, что я курилъ дядины папиросы. Теперь я могъ читать свободно все, что могъ достать гдѣ-нибудь, и я зачитывался до того, что пропадалъ изъ дому съ книгой на цѣлыя сутки; и по мѣрѣ того, какъ я читалъ, я находилъ, что я еще знаю очень мало, мнѣ надо еще учиться, и я сталъ проситься въ гимназію. Дядя осмѣялъ меня. Онъ былъ убѣжденъ, что сдѣлалъ все для моего развитія. Онъ видѣлъ, что я ростомъ съ него; изъ разговоровъ моихъ замѣчалъ, что я знаю больше его; зналъ, что умѣю красиво переписать, кое-что сочинить, даже что-то такое, о чемъ онъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія,—и радовался этому. Радовался онъ этому потому болѣе, что я кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ, имѣю права, могу служить, могу получить чинъ, и стало быть, чего же мнѣ еще надо? Я долженъ благодарить его, что онъ на ноги меня поставилъ. А что мнѣ еще нужно учиться—это онъ считалъ нелѣпостью. Такъ же съ нимъ соглашалась и жена его, моя тетка. Эта женщина была очень неразвита. Воспитывалась она очень бѣдно, съ десяти лѣтъ торговала на рынкѣ калачами, на семнадцатомъ—сидѣла въ лавочкѣ и на восемнадцатомъ году вышла замужъ за почтальона, которому она понравилась лицомъ и котораго она впослѣдствіи очень полюбила. Не обученная грамотѣ, путавшаяся въ денежныхъ расчетахъ, она хороша была для мужа тѣмъ, что умѣла хорошо стряпать и печь, умѣла шить, любила чистоту и старалась во всемъ угодить самому, который былъ для нея выше всего на свѣтѣ. Ей ничего не нужно было, кромѣ того, чтобы мужъ ея былъ здоровъ. Безъ мужа она

бы погибла, потому что на чужихъ людей ей стыдно было работать, а ремесла она никакого не знала. При мужѣ она была сыта, спала въ волю, водила знакомство только съ тѣми, кто ей нравился: больше ей ничего не нужно было, даже религія для нея послѣ мужа была на второмъ планѣ. Могла ли эта женщина развить свой умъ? Нисколько. Она учила меня быть честнымъ, не воровать, любить и почитать старшихъ для того, чтобы они любили меня, а если старшіе будутъ любить меня, я буду жить такъ же, какъ и ея мужъ, мой дядя. Часто я что-нибудь разсказывалъ ей изъ исторіи; она удивлялась, но черезъ недѣлю забывала. Она даже забыла много молитвъ, не знала, кто раньше жилъ: Авраамъ или Христосъ, вѣрила предразсудкамъ и снамъ, гадала въ карты, ходила къ ворожеямъ и т. п. Изъ моихъ разсказовъ она выводила то заключеніе, что я очень уменъ, и удивлялась: отчего это я много знаю, а она и дядя ничего не знаютъ? Я говорилъ ей, что я еще ничего не знаю, мнѣ надо еще многому учиться; она морщилась и говорила: «Будетъ, зачитаешься—съ ума сойдешь. Еще чернокнижникомъ сдѣлаешься»...

Но былъ ли я на самомъ дѣлѣ уменъ, какимъ считали меня дядя и тетка? По ихъ разумѣнію я былъ уменъ и мнѣ больше образовываться нѣтъ надобности, такъ какъ они думали, что я уже все знаю, знаю больше ихъ,—и слава Богу. Не хотѣли они большаго моего образованія потому еще, чтобы я не зазнался и не отдѣлился отъ нихъ. Въ это время я былъ очень задумчивъ и приглядывался къ жизни, къ окружающимъ меня людямъ, которыхъ сравнивалъ съ собою, съ дядей и теткой, но выходилъ какой-то хаосъ. Но самое лучшее было для меня—это сидѣть на берегу рѣки или на рѣкѣ въ лодкѣ съ удилишкомъ. Простору было много, но толку все-таки не выходило. Часто случалось, что я, сидя на рѣкѣ въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь вдаль, глаза останавливались на одномъ мѣстѣ, а въ головѣ чувствовалась какая-то тяжесть и вертѣлись только слова: «какъ же это?... отчего же это?..»—и въ отвѣтъ ни одного слова. Очнешься и плюнешь въ воду; начнешь удить и думаешь: «ахъ, если бы у меня были деньги, я бы накупилъ книгъ, много, много; я бы все выучилъ... и человѣка бы такого надо, который бы объяснилъ мнѣ все это». Въ головѣ чортъ знаетъ что; осердишься, вздохнешь и скажешь: «зачѣмъ же они взяли меня къ себѣ, измучили, сдѣлали изъ меня дурака? Зачѣмъ же я не остался такимъ же дуракомъ, какъ и почтальоны, нигдѣ неучившіеся, которые только и думаютъ объ томъ, какъ бы наѣсться, напиться, поспать да угодить начальству?.. И жилъ бы я какъ животное, а то вотъ все думаешь, все хочется узнать, что и какъ, и отъ чего, и почему происходитъ. Узнаю я, другихъ буду учить, пользу какую-нибудь принесу, спасибо скажутъ, а что за человѣкъ, когда я ничего не знаю, я гожусь только въ переписчики»...

Многаго мнѣ хотѣлось, много хотѣлось знать, но мнѣ мѣшали, меня ругали за это желаніе; и чтобы я не думалъ много, не сидѣлъ понапрасну долго и не маралъ понапрасну бумагу, дядя рѣшилъ опредѣлить меня на службу какъ можно скорѣе. До сихъ поръ чиновный людъ я понималъ такъ, что они только пишутъ и за это получаютъ деньги и чины, но я не думалъ, чтобы они приносили кому-нибудь какую-нибудь пользу. «Для кого же они пишутъ-то?», думалъ я и спрашивалъ дядю. Онъ говорилъ, что они служатъ.

— Кому?—спрашивалъ я.

— Царю и отечеству.

— Что же они дѣлаютъ?

— Служатъ.

«Значитъ, думалъ я, кто пишетъ и кто носитъ форменную одежду, тотъ служитъ царю и отечеству. Что же они дѣлаютъ?» Дядя не объяснилъ, его знакомые тоже не объяснили, и я думалъ: «ужели у царя и отечества такъ много дѣла?.. Да, думалъ я, значитъ они служатъ, и за это имъ даютъ чины такого рода, что они возвышаются во мнѣніи другихъ людей, гордятся этимъ, а раньше полученія чина хлопочутъ, чтобы получить этотъ первый чинъ.» Дядя говорилъ, что получить чинъ не всякій можетъ, что чиновникъ избавляется отъ тѣлеснаго наказанія и не платитъ никакихъ податей. «Что жъ, думалъ я, поступлю и я на службу, коли ужъ дядѣ не хочется, чтобы я учился; буду и на службѣ учиться». Это самое важное—служба коронная, говорилъ дядя, на эту службу не всякъ можетъ поступить, и чиновника никакъ нельзя сравнить съ купцомъ или мѣщаниномъ, или солдатомъ, такъ же какъ нельзя сравнить почтальона съ сортировщикомъ или почтмейстеромъ. Дядя говорилъ это по своему понятію, потому что онъ очень рано поступилъ на коронную службу; служить купцу или вообще частному лицу онъ считалъ послѣднимъ дѣломъ, несмотря на то, что у этихъ господъ служащіе получали гораздо больше жалованья, чѣмъ коронные. «Тамъ служитъ кто?—мѣщане... А мѣщане подати платятъ, рекрутовъ ставятъ; да и понравишься ты купцу—ладно, не понравишься—прогонитъ; а въ нашей службѣ, шалишь, на все законъ, силой не выгонишь». Но какъ дядя ни разсуждалъ, а я чувствовалъ, что мнѣ не стерпѣть этой тяжелой службы, что мнѣ долго придется служить до чина, и я завидовалъ такимъ людямъ, которые на пятнадцатомъ году были уже чиновниками или на девятнадцатомъ году, кончивши курсъ въ университетахъ, поступали столоначальниками губернскихъ присутственныхъ мѣстъ или становыми... «Служи, говорилъ дядя, я тридцать лѣтъ служу и все жду чина»...

Дядя ждалъ перваго чина, какъ чего-то великаго, особеннаго, что должно точно передѣлать его. Онъ никакъ не думалъ, что Богъ пошлетъ ему эту благодать, потому что ни отецъ его, ни вся его родня не имѣли чиновъ. Я тоже ждалъ этого чина и думалъ: «что это такое? какъ изъ нечиновнаго дядя превратится въ чиновники?» Четыре раза по какимъ-то причинамъ ему отказывали отъ чина, и дядя каждый разъ печалился отъ этихъ отказовъ. Чинъ ему нуженъ былъ еще и потому, что ему хотѣлось получить должность почтмейстера, а безъ чина его не хотѣли опредѣлить, хотя онъ и исправлялъ во время отсутствія почтмейстеровъ ихъ должности. Каждую почту онъ справлялся въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ»: не произведенъ ли онъ въ чинъ, и одинъ разъ самъ своими

глазами увидѣлъ въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ» свою фамилію и производство его въ коллежскіе регистраторы. Съ неописаннымъ восторгомъ дядя сообщилъ это теткѣ, которая отъ радости заплакала, но все еще плохо вѣрила.

— Ты бы хорошенько посмотрѣлъ.

— Ужъ не безпокойся... Произведенъ.

— Слава тебѣ Господи!.. А ты бы еще посмотрѣлъ.

По этому случаю тетка, носившая на головѣ косынку, купила теперь шляпку. Она была того убѣжденія, что шляпку слѣдуетъ носить только чиновницамъ. Особенной перемѣны я не замѣтилъ ни въ дядѣ, ни въ теткѣ: дядя только хвалился своимъ чиновничествомъ.

— Теперь меня ни одна свинья не смѣетъ обижать,—говорилъ онъ храбро.

— Ты бы того... Да у тебя въ которомъ мѣстѣ чинъ-то?

— Чинъ въ головѣ!

Тетка не понимала: она предполагала въ чинѣ какое-нибудь отличіе.

— Все бы надо что-нибудь...

— На бумагѣ произвели—прямо въ коллежскіе *регистраторы*. Да...

— Ты бы сюртукъ съ позументомъ заказалъ.

— Закажу, когда буду почтмейстеромъ... А мнѣ, слышь, плохо вѣрится, что я произведенъ въ чинъ. Чинъ—чинъ, говорятъ... Они бы звѣзду какую-нибудь дали.

— То-то. А то чиновникъ, говорятъ, а кто тебя узнаетъ, что ты чиновникъ?..

— Въ головѣ, сказано, чинъ...

Повидимому, дядя обижался, что ему не дали такого отличія, по которому бы его всѣ люди знали, что онъ чиновникъ. Онъ ходилъ попрежнему въ контору въ сюртукѣ, дома въ халатѣ, но съ почтальонами уже не игралъ въ карты; попрежнему ѣлъ, пилъ, спалъ, пѣлъ, скучалъ и игралъ со скуки на дрянной скрипкѣ пѣсни: «Выйду-ль я на рѣченьку», «Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту», «Среди долины ровныя». Но игралъ недолго, не какъ прежде: его точно что-то мучило, онъ теперь сдѣлался сосредоточеннѣе и говорилъ отрывочно; но прежняя простота и теперь осталась въ немъ, только онъ теперь прилѣпилъ къ своей фуражкѣ кокарду и въ этой фуражкѣ онъ ходилъ только въ церковь; въ будни же ему почему-то было совѣстно носить ее. Тетка же стала носить черную шляпку, но эта шляпка была ей не къ лицу, какъ мнѣ показалось съ перваго раза и какъ показалось также почтальонкамъ, да и самой ей какъ-то неловко было идти по улицѣ; не чиновныя ея знакомки удивлялись такому наряду и спрашивали:

— Чтой-то съ тобой? али муженекъ-то чинъ получилъ?

— Получилъ, слава тѣ Господи; первый чинъ получилъ.

— Слава тѣ Господи! Глико-сь... а шляпка-то ровно у те бокомъ, матка...

Тетка досадовала на это замѣчаніе. Раньше она многимъ почтальонкамъ говорила вы, теперь ей казалось неприлично говорить такъ, и она говорила на ты, что очень обижало почтальонокъ; онѣ говорили промежъ собой: «зазналась баба... не къ лицу это сѣдло напялила», и ругали мужей за то, что они, вахлаки, не купятъ имъ шляпки для того, чтобы протереть глаза модницѣ, моей теткѣ.

Это производство случилось вскорѣ послѣ того, какъ я кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ. По заведенному съиздавна порядку дядѣ слѣдовало сдѣлать поздравку для почтовыхъ, на томъ основаніи, что онъ получилъ большую радость, которую должны раздѣлить и почтовые; но дядя не сдѣлалъ поздравки, говоря напрашивающимся: «эка важность, что я чинъ получилъ! А сколько я до него служилъ-то? Потрите-ка вы лямку-то...»

— Да вѣдь вы получили и должны на радостяхъ сдѣлать поздравку.

— За што? Безъ васъ произвели—выслужилъ, значитъ.

Сталъ онъ просить губернскаго почтмейстера назначить его уѣзднымъ почтмейстеромъ; тотъ представилъ другого за сто рублей; открылась вакансія помощника почтмейстера въ одномъ богатомъ уѣздномъ городѣ; попросилъ онъ почтмейстера, тотъ отказалъ. Дядя послалъ прошеніе выше. До этого времени онъ въ надеждѣ на опредѣленіе былъ нѣсколько веселъ и любезенъ съ теткой. Особенно онъ хвалилъ себя:

— Натко-сь, и я чиновникъ.

— И я чиновница,—говорила тетка.

— Конечно, ты не кухарка какая-нибудь... А все это по моей милости.

— У, ты мое золото!.. Тетка цѣловала дядю; дядя тоже цѣловалъ ее. А это случалось очень рѣдко, потому что онъ не любилъ любезничать, и я рѣдко замѣчалъ, какъ дядя цѣлуетъ тетку.

— Да, толкуй тутъ, а я свой родъ возвеличилъ!—хорохорился дядя.

— Все Божья воля.

— Ну, ужъ... А я все-таки одинъ изъ всего своего рода чинъ получилъ и тебя чиновницей сдѣлалъ, и Петеньку чиновникомъ сдѣлаю... Вотъ каковъ я!

Дядю опредѣлили помощникомъ почтмейстера туда, куда онъ просился. По этому случаю онъ сдѣлалъ поздравку—обѣдъ, на который пригласилъ почтовую аристократію. Тетка прилежно стряпала, послѣ стряпни нарядилась въ шелковое платье, бѣгала, суетилась, ворчала на меня: дядя тоже суетился и просилъ тетку не подгадить. Мнѣ велѣно было сидѣть въ кухнѣ за дверями. Я никогда не бывалъ среди «аристократіи» и потому мнѣ очень хотѣлось узнать, что это за штука такая. Въ двѣнадцать часовъ стали собираться гости совсѣмъ трезвые, поздравляя дядю и тетку съ чиномъ и съ должностью. Когда собрались всѣ, выпили по рюмкѣ водки и вели разговоры какъ-то натянуто, какъ будто находя, что они пришли къ человѣку низшаго сорта. Выпили по двѣ и по три, развязались языки, поздравляли дядю и тетку, за обѣдомъ больше молчали и отшучивались, подсмѣиваясь надъ угловатостью дяди. Дядя и тетка усердно подчивали, говорили имъ любезности, и особенно усердствовали передъ губернскимъ почтмейстеромъ, которому они льстили, поддакивали и старались ловить каждый его разговоръ. Дядя бывалъ въ такихъ обществахъ, но все какъ-то велъ себя при-

нужденно, загибая лѣвую руку назадъ, а правой—почесывая правый високъ; тетка не бывала въ такихъ обществахъ,—робко подносила кушанья и убирала посуду. По ея неряшеству оказывались невымытые ложки, ножи, о чемъ ей замѣчали любезно:

— Пожалуйста, возьмите ложку, я не хочу больше.

— И, полноте! у меня другія есть.

Впрочемъ она старалась пустыми мелочами угодить гостямъ: подносила другія салфетки, просила ѣсть больше; гости подсмѣивались надъ ней. Но больше всего гости разсуждали про меня.

— Ну, что ваше-то чадо?

— Кончилъ курсъ.

— Дѣло. А какой господинъ замѣчательный!.. Бѣдовый парень!

— Что дѣлать, смучился...

— Я бы не сталъ такого держать.

— Теперь онъ ничего. Не знаю, куда опредѣлить бы его. Денегъ нѣтъ.

— Полно-ка. Поди сундуки у тебя ломятся,— говорилъ почтмейстеръ по-дружески.

Подъ конецъ гости тоже разсуждали по-дружески, и повидимому вполнѣ остались довольны поздравкой.

II.

Въ губернскомъ городѣ дядя не пріискалъ мнѣ мѣста и повезъ меня съ собой въ уѣздный городъ. Этотъ городъ вдвое больше и богаче губернскаго, поэтому дядя и разсчитывалъ на богатые доходы; но онъ не умѣлъ сойтись съ почтмейстеромъ, который забралъ всѣ доходы себѣ; особенно почтмейстеру не понравилось то, что ему въ помощники назначенъ не тотъ, о которомъ онъ просилъ, а мой дядя, который хвалился честностью. На первыхъ порахъ онъ не далъ дядѣ казенной квартиры; потомъ говорилъ корреспондентамъ, что ему послали помощника невѣжу, не знающаго свое дѣло. Дядя написалъ въ губернскій городъ, что его обижаютъ, и вслѣдствіе этой жалобы почтмейстеръ очень не залюбилъ дядю и все-таки далъ ему казенную квартиру. Въ губернской почтовой конторѣ дядю уважалъ почтмейстеръ, не смотря на то, что онъ былъ сортировщикомъ; сюда онъ ѣхалъ какъ начальникъ, для отдыха, и какова же была его досада, когда почтмейстеръ говорилъ всѣмъ объ немъ очень худо и заставлялъ его заниматься наравнѣ съ почтальонами и каждую недѣлю ѣздить на станцію разбирать жалобы проѣзжающихъ на ямщиковъ и смотрителей? Дядя ничего не могъ сдѣлать съ почтмейстеромъ и былъ доволенъ только тѣмъ, что получалъ порядочное жалованье и занималъ три комнаты и свою кухню. Такъ какъ комнаты были расположены дурно—на два семейства, то мнѣ комнаты не полагалось, а были отведены антресоли въ прихожей между двумя комнатами, которыя я назвалъ полатями; тутъ-то я устроилъ свой кабинетъ, гостиную и спальню, въ которыя надо было залѣзать по лѣстницѣ, стоявшей у печки. Но моя палата была тѣмъ хороша, что изъ гостиной дяди меня никто не могъ видѣть, а я все могъ видѣть. Теперь мнѣ, какъ кончившему курсъ, было разрѣшено курить табакъ и читать книги. Я покупалъ махорку и къ радости дяди сталъ выживать имъ нелюбимыхъ гостей. Книги мнѣ свѣтло было читать, и я доставалъ всякія безъ разбору у дядиныхъ знакомыхъ; но всѣ эти книги были пустыя, потому что у дяди не было образованныхъ знакомыхъ.

По почтовому вѣдомству дядя не хотѣлъ меня опредѣлить; притомъ здѣсь у него не было такихъ людей, которые приняли бы меня на службу. Одинъ только уѣздный судья былъ ему знакомый. Этотъ судья и рѣшилъ мое дѣло. Онъ согласился принять меня въ уѣздный судъ.

Идти въ судъ за чѣмъ-нибудь дядя считалъ за безчестіе,—такъ былъ ему солонъ судъ. Поэтому можно судить, каково было мнѣ закабалить себя на службу въ этомъ мѣстѣ. Поплакалъ я ночью, а утромъ почтальонъ привелъ меня въ судъ. Я шелъ туда съ намѣреніемъ узнать, что такое судъ, изучить дѣлопроизводство и потомъ перейти куда-нибудь въ другое мѣсто со временемъ, когда дядя познакомится съ важными должностными лицами. Въ судѣ я ничего худого по наружности не замѣтилъ: стѣны выштукатуреныя, бѣлыя, на стѣнахъ два портрета, служащіе одѣты прилично. Только мнѣ не нравилось, какъ говорили служащіе, оглядывая меня:

— Это что за птица?

— Вѣрно на службу... Всякую дрянь принимаютъ.

Судья мнѣ ничего не сказалъ, а призвавъ какого-то Загибина въ сѣренькомъ пальто, велѣлъ ему взять меня къ себѣ. Я сѣлъ смиренно, меня окружили шесть служащихъ, въ числѣ которыхъ были и моложе меня. Всѣ они разспрашивали меня, кто я такой, гдѣ учился, что новаго въ губернскомъ городѣ, скоро ли къ нимъ будетъ губернаторъ?... Сталъ я приглядываться къ служащимъ. Многіе изъ нихъ писали очень скоро, перья сильно скрипѣли, многіе шептались, немногіе перекрикивались. Вонъ всталъ одинъ, сидѣвшій на концѣ стола, взялъ въ губы перо и чуть не бѣгомъ пришелъ къ шкафу, откуда вытащилъ какое-то дѣло, посмотрѣлъ въ него и опять бросилъ въ шкафъ. Къ нему подошелъ высокій служащій и ударилъ по верхушкѣ его головы рукой, предварительно плюнувъ на ладонь; какой-то служащій, смотрѣвшій на это, захихикалъ, а получившій любезность схватилъ за волосы обидчика и такимъ манеромъ притянулъ его къ полу; тотъ вскрикнулъ: «отпусти, чортъ!..» Вонъ, какой-то служащій среди тишины сказалъ на всю канцелярію: «Пичужкинъ, дай табаку»... На это ему отвѣтили сальностью... Вонъ, изъ другой комнаты выбѣжалъ въ шапкѣ и въ пальто долговязый служащій; его остановилъ сидѣвшій на углу: «куда?..». «Хапать!»—сказалъ служащій въ сѣромъ сюртукѣ, продолжая писать... Вонъ привели арестантовъ, подвели ихъ къ какому-то столоначальнику; тотъ съ одного проситъ за что-то деньги... Но это не такъ занимало меня, какъ занималъ сидѣвшій противъ меня за однимъ столомъ человѣкъ лѣтъ сорока пяти въ горнозаводскомъ сюртукѣ. Лицо карявое, давно не бритое, глаза плутоватые; на переносьи торчатъ очки съ засаленными стеклами въ мѣдной оправѣ. Онъ то и дѣло выглядывалъ изъ-за очковъ то на меня, то на обѣ стороны, и часто сморкался на полъ, придерживая одну половину ноздрей и держа перо въ зубахъ. Онъ, согнувши спину, накло-

нивши голову на лѣвый бокъ и высунувши языкъ на лѣвую сторону къ усамъ, писалъ очень старательно строчки, такъ и казалось, что онъ не пишетъ перомъ, а скоблитъ. У дверей въ прихожую какой-то служащій съ листомъ гербовой бумаги беретъ отъ женщины, бѣдно одѣтой, мѣдныя деньги.

— Ишь, собака! Много ли дала?—спросилъ мой визави у этого служащаго, считавшаго деньги.

— Молчи, карявая рожа,—отвѣчалъ тотъ.

— Будь ты проклятъ, песъ!—сказала рожа.

Вдругъ подскочилъ къ нему Загибинъ и ударилъ его по головѣ линейкой; онъ плюнулъ на того и попалъ плевкомъ какъ разъ въ лѣвую щеку. Къ нему подошли еще трое служащихъ и, трепля его, приговаривали: «формочка, формочка! Усь, усь!..». Онъ злился, плевался, ругался, отмахивался линейкой...

У меня попросили папиросъ и я отправился курить. Судъ помѣщался во второмъ этажѣ; внизу помѣщался земскій судъ. Служащіе уѣзднаго и земскаго судовъ зимой и лѣтомъ курили на крыльцѣ подъ уѣздно-судейской лѣстницей. Сойдется человѣкъ восемь изъ обоихъ судовъ: кто свою куритъ папироску, а кто и на счетъ другого пробавляется; одна папироска часто курится четырьмя, и хозяину ея рѣдко достается окурокъ. Здѣсь они занимаются между прочимъ *политикой*, т. е. говорятъ о новостяхъ и сообщаютъ другъ другу разныя свѣдѣнія, не касающіяся службы. Отъ судейскихъ служащихъ я узналъ, что въ судѣ три столоначальника, одинъ занимаетъ должность надсмотрщика крѣпостныхъ дѣлъ и приходо-расходчика, котораго любитъ судья, и этотъ судья такъ довѣрился ему, что даже опредѣляетъ и увольняетъ служащихъ по его желанію и назначаетъ жалованье по его же совѣту; писцовъ штатныхъ шесть, вольнонаемныхъ тринадцать. Во всей канцеляріи только два чиновника. Всей суммы на канцелярію полагается въ мѣсяцъ сто пять рублей, и такъ какъ ея немного, то многіе писцы получаютъ только по три рубля, а новички по два мѣсяца служатъ даромъ.

Второй и третій день я привыкалъ къ служащимъ и уже не такъ дичился ихъ. До прихода секретаря служащіе ничего не дѣлали, а разсказывали разныя исторіи, сообщали другъ другу разныя свѣдѣнія, бранились и корили другъ друга чѣмъ-нибудь, не обижаясь впрочемъ ругательствами. Приходитъ секретарь, ему кланялись, не вставая со стульевъ и табуретокъ, разбѣгались по своимъ мѣстамъ и начинали писать. Секретарь здоровался за руку съ надсмотрщикомъ, на служащихъ онъ глядѣлъ гордо, вообще держалъ себя по-секретарски и говорилъ всѣмъ: «на, перепиши! Дай мнѣ такое-то дѣло». Засѣдателямъ отдавали такую же честь, какъ и секретарю, и они тоже здоровались только съ надсмотрщикомъ. При нихъ служащіе уже крѣпко занимались, но держали себя по прежнему вольно. Судья приходилъ въ судъ тихо, но какъ только служащіе завидятъ его въ прихожей, столпившіеся разбѣгутся на свои мѣста, схватываютъ перья и дѣлаютъ видъ, что они пишутъ, или показываютъ, что они чинятъ перья. Не занятые ничѣмъ служащіе тоже держатъ въ рукахъ что-нибудь: или томъ Свода, или какую-нибудь бумагу. Въ это время всѣ затихаютъ. Показался въ канцеляріи судья—загремѣли стулья вразъ, вразъ всѣ встали, каждый пошевелилъ губами: «здравствуйте, молъ!». Судья важно кланяется два раза на обѣ стороны и молча проходитъ въ присутствіе. Случалось, что судья заставалъ канцелярію врасплохъ, какъ бывало въ училищѣ грозный смотритель или инспекторъ; тутъ служащіе терялись: стоявшіе не смѣли идти на свои мѣста говорившіе на своихъ мѣстахъ точно присѣдали еще ниже. Выходило очень смѣшно. Когда въ присутствіи начинался говоръ, оживлялась и канцелярія начинался гвалтъ, крикъ, драка. Выходитъ секретарь изъ присутствія и говоритъ грозно: «тише, вы!..» Канцелярія смолкаетъ, потомъ опять слышны хихиканья и гвалтъ. «Смирно, вы, сволочь!»—кричитъ секретарь... Такъ и проходило время въ судѣ. Каждый служащій долженъ былъ непремѣнно придти на службу вечеромъ, не смотря ни на какую погоду и на то, что онъ жилъ далеко. Служащіе готовы были прилежнѣе заниматься дѣломъ до пяти часовъ, только бы имъ не ходить по вечерамъ; они даже совѣтовались объ этомъ между собой, но предложить судьѣ не смѣли, да судья пожалуй и не разрѣшилъ бы этого, имѣя въ виду расходъ на свѣчи. Вечеромъ служащіе очень мало занимались дѣломъ, потому что судья никогда по вечерамъ не бывалъ въ судѣ, а засѣдатели бывали очень рѣдко, и когда приходили, то разговаривали со столоначальниками о чемъ-нибудь. Вечеромъ служащіе разсказывали другъ другу или компаніи человѣкъ въ пять о своей удали, хвастались, какъ они разбили стекла въ какомъ-то открытомъ домѣ и какъ надули такую-то дѣвицу за доставленное такому-то судейскому ловеласу удовольствіе. Меня очень злили эти разговоры, но приводилось ихъ слышать каждый день, потому что они забавляли служащихъ, да и кромѣ этого предмета не о чемъ было говорить.

Въ первый день моей службы я переписывалъ копію и плохо понялъ ея содержаніе, потому что переписывалъ съ неразборчиваго почерка очень старательно, боясь пропустить какую-нибудь строчку или букву. Мнѣ стыдно было, когда я что-нибудь приписывалъ лишнее, и это лишнее нужно было соскабливать; я краснѣлъ, когда мой столоначальникъ говорилъ мнѣ: «вы соврали немножко, нужно поправить». А безъ ошибокъ я никакъ не могъ переписать бумаги вѣроятно потому, что такое занятіе было для меня новостью. На другой день мнѣ дали переписать рапортъ въ губернское правленіе. Я долго мялся, не зная какъ начать; два раза прочиталъ черновое и никакъ не понялъ, что надо уѣздному суду, чего-то онъ проситъ покорнѣйше и о чемъ-то имѣетъ честь *донести*. Слово «донести» было для меня новостью. Мнѣ показали, какъ нужно писать; я писалъ очень старательно, выводя какъ можно красивѣе буквы, и въ это время думалъ: «неужели мое занятіе или моя служба въ томъ заключается, чтобы выводить на бумагѣ красивыя буквы?» Оно въ первый разъ такъ и вышло: я протянулъ букву очень далеко, поставилъ нерусское; засѣдатель велѣлъ переписать мнѣ. Все-таки я считался переписчикомъ лучшаго сорта, и поэтому мнѣ давали переписывать рапорты и донесенія. Занятій въ судѣ было много, такъ что я занимался и

дома; время шло незамѣтно, но развитія для меня все-таки не было. За то теперь я былъ уже служащій человѣкъ и самъ получалъ жалованье. А получалъ я уже три рубля серебромъ въ мѣсяцъ. Я понималъ, что я служу въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣшаются дѣла о людяхъ, и гордился этимъ, хотя повидимому никто изъ канцелярскихъ братій не гордился своей службой. Дядя интересовался моей службой. Приду я домой—онъ уже спитъ. Встанетъ къ чаю и спрашиваетъ:

— Ну что, какъ служба?

— Ничего.

— Судья ничего?

— Ничего.

— Ты бы попросилъ, чтобы онъ прибавилъ ему жалованья, а то и на сапоги не достанетъ,—просила тетка дядю.

— Они вѣдь скоты всѣ любятъ, чтобы имъ даромъ дѣлали.

— Да и работа-то какая,—все копіи.

Дядя обижался, что мнѣ давали мало жалованья; онъ понималъ, что я смыслю сочинять, но просить судью о прибавкѣ не хотѣлъ и думалъ, что я вѣрно самъ того заслужу. Я не обижался такимъ жалованьемъ, потому что служащіе, поступившіе раньше меня, получали по рублю и меньше, да мнѣ и хорошо жилось у дяди. Такъ прошло два мѣсяца. Наконецъ получился указъ губернскаго правленія о зачисленіи меня на службу. Дядя обрадовался этому. Нужно было принимать присягу на вѣрность службы.

Присяжныхъ листовъ на этотъ предметъ въ судѣ не имѣлось; служащіе наизусть присяги не знали. Поэтому я цѣлые два дня ходилъ по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ и только въ одномъ нашелъ добраго человѣка, который снабдилъ меня присяжнымъ листомъ. Пошелъ я въ соборъ, стоящій противъ суда. Тамъ я попросилъ священника привести меня къ присягѣ, но онъ запросилъ рубль; я попросилъ другого, тотъ сказалъ, что ему некогда. Въ судѣ говорили, что меня можно привести въ присутствіи при всѣхъ членахъ, и тогда я ничего не заплачу священнику. Въ нашъ судъ почти каждый день ходилъ одинъ священникъ и приводилъ къ присягѣ арестантовъ при отобраніи допросовъ. Въ этотъ день онъ былъ въ присутствіи и я вошелъ туда съ присяжнымъ листомъ и попросилъ секретаря объ этомъ предметѣ.

— Батюшка, вотъ еще этого приведите къ присягѣ,—сказалъ секретарь священнику.

— Этого? Неужели такой молодой попался?

— На службу опредѣленъ.

— А! да мнѣ некогда. Ужо, въ другой разъ.

Отложили до другого раза. На этотъ разъ священника просилъ самъ судья. Мнѣ велѣли стать къ столу и поднять руки кверху. Судья и члены смотрѣли на меня. Я молчалъ и смотрѣлъ въ окошко, дожидаясь конца присяги.

— Вслухъ говорите!—прикрикнулъ на меня судья. Я сталъ повторять слова шопотомъ, смотря въ окно, клялся, забывая все окружающее. Повторяя слова, я думалъ: «зачѣмъ я измѣню?.. Я буду вѣрно служить, не такъ, какъ они; буду служить для пользы людей...» Когда вечеромъ я легъ спать, я долго думалъ объ этой присягѣ. «Не лгалъ ли я?»... Нѣтъ, я клялся отъ чистаго сердца и когда я представилъ себѣ всѣхъ служащихъ, всѣ ихнія дѣянія, я ужаснулся: гдѣ же клятва? гдѣ же тѣ желанія? Отчего эта присяга имѣетъ свою силу только тогда, когда произносишь слова ея... Неужели то же будетъ и со мной? Отъ этого я перешелъ къ тому, что я въ судѣ служу честно, переписываю, знакомлюсь со служащими, нахожусь въ ихъ обществѣ—и только; я получаю жалованья три рубля, хотя и стараюсь каждую бумагу переписать на отличку, и если я грѣшу чѣмъ-нибудь противъ присяги, такъ развѣ тѣмъ, что я досадую, что мнѣ даютъ немного жалованья. Отдавая дядѣ три рубля, я вполнѣ обезпеченъ: у меня есть теплая квартира—полати,—меня одѣваютъ, кормятъ, мнѣ даютъ деньги на махорку. Больше мнѣ ничего не нужно было. Я даже думалъ, что я все буду жить у дяди и буду служить честно; потомъ дядя похлопочетъ за меня, и судья сдѣлаетъ меня столоначальникомъ, и я буду получать жалованья десять рублей, изъ которыхъ пять я буду отдавать дядѣ, а половину буду держать у себя... При этомъ я представлялъ себѣ положеніе бѣдныхъ служащихъ. Многіе изъ нихъ получали отъ пяти до семи рублей и жили съ женами на квартирахъ; кромѣ этого они пили водку въ компаніи, ходили въ разныя увеселительныя заведенія... Я думалъ, что жить на такомъ жалованьѣ нельзя, имѣть постороннюю работу невозможно при судейскихъ занятіяхъ, и сначала я обвинялъ служащихъ въ пьянствѣ и въ томъ, что они не умѣютъ беречь деньги, но потомъ и самъ разсудилъ, что жить честно на пятирублевомъ жалованьѣ совершенно невозможно въ большомъ городѣ, и что нужно пріобрѣтать какіе-нибудь доходы,—брать взятки. Но вѣдь это нечестно... А жить если нечѣмъ? Голодомъ живи?.. А для какого чорта?..» Долго я думалъ и, сбившись совсѣмъ съ толку, заснулъ, но и во снѣ мнѣ мерещились разныя страшныя хари, которыя я почему-то называлъ судейскими.

И сталъ я служить въ уѣздномъ судѣ и прослужилъ уже полгода и ко многому присмотрѣлся я, многое я изучилъ тамъ; но мнѣ не приводилось получать доходовъ, потому что я только переписывалъ то, что мнѣ дадутъ члены и мой столоначальникъ.

Дома я постоянно сидѣлъ на полатяхъ-антресоляхъ, гдѣ и читалъ повѣсти или романы и разныя старыя газеты, какія я только доставалъ у теткиныхъ знакомыхъ. Дядя и тетка на мое чтеніе смотрѣли равнодушно, называя меня уже большимъ человѣкомъ, которому можно читать книги для того, чтобы не дичиться передъ людьми; но могъ ли я не дичиться, живя на полатяхъ? Если къ теткѣ или дядѣ приходили гости, да я былъ въ комнатѣ,—меня гнали прочь: «чего сидишь, пошелъ на свое мѣсто»... Съ своей стороны и я не желалъ знакомиться съ гостями, отъ которыхъ я кромѣ хвастовства ничего не слыхалъ хорошаго. Ходилъ къ дядѣ помощникъ казначея, повидимому не глупый человѣкъ и шутникъ до

того, что я, сидя на полатяхъ, заслушивался его и ежели слышалъ что-нибудь смѣшное, хохоталъ, зажавши ротъ. Разъ я не утерпѣлъ и высунулъ съ полатей голову. Чиновникъ разсказывалъ о какихъ-то старинныхъ своихъ похожденіяхъ и о карточной игрѣ и, взглянувъ на полати, струхнулъ.

— Это что у тебя за звѣрь?—спросилъ онъ дядю. Я тотчасъ же спрятался и сталъ слушать.

— Гдѣ?

— Вонъ тамъ.

— Это мой племянникъ.

— Какъ онъ меня испугалъ! Я часто вслушивался: что это такое скрипитъ тамъ?..

— Это онъ. Я тебя, шельма! Что ты тамъ не сидишь смирно!..

— Я ничего,—сказалъ я.

— Что же ты не покажешь его мнѣ?

— Не для чего.—И дядя принялся разсказывать съ разными прикрасами исторію про меня. Я злился и досадовалъ, что онъ рекомендуетъ меня очень худо.

Этотъ чиновникъ часто ходилъ къ дядѣ для того, чтобы онъ отправлялъ его письма во всякую пору, за что онъ угощалъ дядю виномъ. Онъ былъ богатый человѣкъ, имѣвшій много знакомыхъ, но сколько дядя ни просилъ его пристроить меня въ казначейство, онъ говорилъ, что нужны для этого деньги. Казначей такъ же не любилъ его, какъ и дядю почтмейстеръ, и эти два пріятеля постоянно ругали своихъ начальниковъ, съ тою только разницею, что дядя ругалъ рѣшительно всѣхъ, а его пріятель хвалился тѣмъ, что ему предсѣдатель обѣщалъ мѣсто казначея. Странно мнѣ казалось то: почему это помощникъ казначея не познакомитъ мою тетку съ своей женой и самъ рѣдко приглашаетъ къ себѣ дядю, хотя онъ и жилъ очень близко отъ почтовой конторы. Когда онъ приходилъ къ намъ, постоянно говорилъ какія-нибудь любезности теткѣ, которыя даже ей казались приторными. Тетка въ свою очередь справлялась у дядина пріятеля о здоровьѣ его жены и посылала ей свой поклонъ, хотя никогда и не видала ее. «Моя жена такая хворая, занятая дѣтьми...», говорилъ обыкновенно чиновникъ, а на самомъ дѣлѣ это была тучная женщина. Жизнь этихъ обоихъ супруговъ, какъ надо полагать, была очень легкая, время шло незамѣтно. Онъ впрочемъ разсказывалъ, что женился на богатой, образованной воспитанницѣ какого-то московскаго института, и жена ему каждый годъ исправно рожаетъ ребенка. Поэтому дядя и прозвалъ жену своего пріятеля утробой, а тетка—модницей на томъ основаніи, что она, т. е. жена пріятеля, ничего не дѣлаетъ. Впослѣдствіи пріятель сталъ ужъ очень надоѣдать дядѣ своими письмами, частыми посѣщеніями, отъ которыхъ дядя выпивалъ двѣ лишнія рюмки водки, буянилъ дома, втянулся въ карточную игру и всегда проигрывалъ деньги. Тетка стала поэтому съ неудовольствіемъ принимать дядина пріятеля, говоря: «вы человѣкъ богатый, вамъ ничего не значитъ проиграть десять рублей, а у насъ гдѣ деньги-то».

— Ну, ну! Поди у васъ тысячи водятся. Нечего прикидываться-то,—говорилъ пріятель.

Тетка хмурилась. Стала она бранить дядю за то, что, какъ придетъ его пріятель, водки и папиросъ много выходитъ; полъ онъ вымаралъ плевками и проч.

Сначала дядѣ весело было съ нимъ, но потомъ и онъ соскучился; онъ былъ сосредоточенный человѣкъ и любилъ больше одиночество.

Дядя часто скучалъ по губернскомъ городѣ, гдѣ у него было много знакомыхъ, жилось хорошо, можно было порыбачить; а здѣсь народъ гордый, городъ скверный, рыбачить далеко. Въ самомъ же дѣлѣ у него въ губернскомъ городѣ хотя и много знакомыхъ, но ни эти знакомые не ходили къ нему въ гости, ни онъ не ходилъ къ нимъ—значитъ шапочное знакомство; конечно, ему бы можно приглашать ихъ и ходить къ нимъ, но у него не было много денегъ, чтобы играть съ ними въ стуколку, безъ чего дружба въ губернскомъ городѣ была немыслима. Здѣсь у него было много знакомыхъ того времени, когда онъ еще былъ почтальономъ въ здѣшней конторѣ, но многіе его знакомые изъ бѣдняковъ сдѣлались теперь богачами, золотопромышлениками, у которыхъ всѣ власти были въ рукахъ и отъ которыхъ эти власти поживались хорошо. Такіе люди уже конечно за стыдъ считали водить прежнюю дружбу съ дядей. Злился дядя на этихъ людей, очень злился еще потому, что онъ весь вѣкъ мается для другихъ, и чортъ знаетъ, для чего онъ мается?

— Хоть бы до пенсіи, будь она проклята, дали дослужить, а то съѣдятъ подлецы раньше могилы... Тогда бы и я на боку лежалъ или пошелъ бы на пароходъ въ капитаны...—И злился же дядя очень, представляя свое незавидное положеніе.—«Скоро пятьдесятъ лѣтъ будетъ, какъ я живу на семъ свѣтѣ; сколько городовъ изъѣздилъ, сколько людей видалъ, а что нажилъ для себя?.. Ну-ка вы, свиньи эдакіе, ткните сундучишко-то! Вы говорите, я богатъ; ткните-ко, все переворочайте... Скажите, гдѣ я запряталъ деньги?.. Подлецы, вотъ что я вамъ скажу! Напрасно только обижаете бѣднаго человѣка. Если бы я воровалъ да обманывалъ,—сталъ бы я развѣ служить? Я бы торговлю открылъ; а то, какъ жилъ честью, и ничего не нажилъ. Умри я, жена по-міру пойдетъ. Къ роднѣ ей что-ли идти—свои деньги неси, такая же голь... И чортъ знаетъ, зачѣмъ человѣкъ родится? Живешь — все зависть беретъ, все мало, все бы хапалъ... А и завидно опять, что люди хорошо живутъ, ты ни то, ни се; да они же и смѣются надъ тобой, понукаютъ проклятые»...

— Ну, полно, — унимаетъ его тетка:—на Бога надѣйся.

— Ты надѣйся, а я усталъ.

— О-о-хо-хо, грѣхъ тяжкій!...

— Гдѣ грѣхъ? Ну-ка, скажи, что я худое сдѣлалъ? Обидѣлъ ли я кого-нибудь?

— Нѣтъ, а все же...

— Ну, то-то и есть. Ты вотъ молишься, а все кому-нибудь хочешь отомстить. Все на мужнину шею надѣешься. Ну, что ты сдѣлала для меня?

Тетка въ слезы. Она дѣйствительно немного сдѣлала для дяди: она была ему жена, любила его, стряпала на него, шила на него, а деньги пріобрѣталъ все-таки онъ. На себя она ничего не пріобрѣла, по-

тому что мать ея была бѣдная, а потомъ она сама не умѣла нажить денегъ.

Съ почтмейстеромъ дядя не могъ ладить. Главное обстоятельство, послужившее къ этому, было то, что почтмейстеръ, во-первыхъ, былъ сынъ предсѣдателя, во-вторыхъ—женившійся на богатой, и въ-третьихъ, называлъ дядю невѣжей, необразованнымъ и свиньей. Почтмейстеръ подъ конецъ предоставилъ ему простую корреспонденцію, т. е. письма и пакеты. Приходилъ почтмейстеръ въ контору раньше дяди. Дядя приходилъ, подавалъ ему руку: почтмейстеръ нехотя протягивалъ ему свою лѣвую руку, ядовито улыбаясь, или говорилъ: «поздненько пришли».

Дядя садился на свое мѣсто молча или, когда былъ сердитъ, говорилъ: «что мнѣ здѣсь дѣлать? Вѣдь я здѣсь вмѣсто мебели у васъ».

Почтмейстеръ злился, но какъ вѣжливый человѣкъ говорилъ: «все же вы вѣдь помощникъ, должны раньше меня приходить?».

Дядю взорветъ и онъ скажетъ: «что же, по вашему, я долженъ на стѣны смотрѣть, да слушать, какъ корреспонденты будутъ ругаться?»

— Ну, хоть бы и такъ, все же вы должны приходить раньше меня.

— А отчего вы запираете печать? Чѣмъ я буду письма запечатывать?

— До меня оставьте. Я приду и выну казенную печать.

— Покорно благодарю... Да и вы не приказываете мнѣ принимать денежныя и страховыя письма.

— Разумѣется.

Дядя что-нибудь скажетъ про себя шопотомъ.

— Скотина!—скажетъ почтмейстеръ.

Такъ и сидятъ почтмейстеръ съ помощникомъ, какъ два медвѣдя: сидятъ молча, косятся другъ на друга и каждый думаетъ: «вотъ съ какимъ чортомъ Богъ сподобилъ меня служить».

Почмейстера не любилъ весь городъ за то, что онъ во-первыхъ *спускался* изъ своей квартиры внизъ въ контору поздно и не довѣрялъ помощнику принимать и выдавать корреспонденцію для того, чтобы тотъ не получалъ доходовъ: корреспонденты дожидались его подолгу въ пріемной конторѣ, ругая его на чемъ свѣтъ стоитъ. Когда онъ приходилъ, то отпускалъ такихъ корреспондентовъ, которые часто слали ему подарки, а тѣ, которые не присылали подарковъ, простаивали до перваго часу, когда почтмейстеръ уходилъ, а приходилъ уже на другой день, а потому и случалось, что они ходили цѣлую недѣлю. Писать жалобу на почтмейстера не стоило, потому что губернская контора на такія жалобы «плевать хотѣла». Если кто-нибудь замѣчалъ почтмейстеру: «вѣдь у васъ помощникъ есть», онъ говорилъ: «это—дрянь! я боюсь, вредный человѣкъ»... Корреспонденты знали дядю за честнаго человѣка, дивились слышанному и пересказывали дядѣ все, что слышали. Во-вторыхъ, почтмейстеръ никому не отдавалъ мелкой сдачи. Напр. если нужно сдать одну или три коп., онъ говорилъ: «а сдачи нѣтъ, послѣ сдамъ», или «на томъ свѣтѣ жаромъ разсчитаемся».

Чтобы избавиться на нѣкоторое время отъ дяди, почтмейстеръ то и дѣло посылалъ его разбирать жалобы проѣзжающихъ на ямщиковъ и станціонныхъ смотрителей. Дядя не могъ противиться волѣ почтмейстера и разъѣзжалъ почти каждую недѣлю. Съ ямщиками и смотрителями онъ поступалъ добросовѣстно. Жалобы писались капризными проѣзжающими, которые думали, что если дорога худая, такъ въ томъ непремѣнно виноваты ямщики. Но случалось обыкновенно такъ, что ямщики, жалѣя своихъ лошадей и зная, сколько имъ полагается ѣздить въ часъ верстъ, гнали ихъ какъ имъ вздумается, имѣя въ виду то, что этимъ лошадямъ придется еще разъ два сбѣгать до этой станціи; случалось, что смотрители пьянствовали болѣе ямщиковъ, которые изъ злобы къ смотрителю старались ему чѣмъ-нибудь насолить. Дядя дѣлалъ по совѣсти, стараясь выслужиться передъ губернской конторой, но съ управляющими вольныхъ почтъ и смотрителями онъ ничего не могъ сдѣлать, потому что они дарятъ начальство, и отъ этого бывало то, что вольныя почты лишали дядю мѣсячнаго жалованья, и ямщики все таки не получали никакого удовлетворенія; смотрители отдавали все свое жалованье почтмейстеру, при жалобахъ дарили его; почтмейстеръ писалъ на дядю доносы, что онъ беретъ съ ямщиковъ деньги, и потомъ прекращалъ дѣла по своему усмотрѣнію. Дядя злился, называлъ всѣхъ подлецами и говорилъ: «а гдѣ же правда-то, черти вы эдакіе!».

Меня почтмейстеръ не любилъ, никогда не отвѣчалъ на мои поклоны, и такъ какъ я былъ посторонній въ конторѣ человѣкъ, то онъ не приказывалъ пускать меня въ контору. Я часто ловилъ рыбу неводомъ и послѣ рыболовства всегда развѣшивалъ неводъ посреди двора, а когда онъ просыхалъ, починивалъ прорванныя мѣста. Дворникъ почтмейстерскій часто гналъ меня прочь съ неводомъ по тому случаю, что куры почтмейстерскія будто бы ломали свои лапы объ ячейки невода. Я не слушалъ дворника. Однажды я развѣсилъ неводъ по забору. Часа черезъ два послѣ этого я сидѣлъ у окна и вдругъ увидалъ, что дворникъ разрѣзываетъ неводъ въ разныхъ мѣстахъ перочиннымъ ножикомъ. За это я, какъ только увидалъ около невода любимую почтмейстерскую курицу, свернулъ ей голову и потомъ бросилъ въ отхожее мѣсто. Это было ночью. Почтмейстеръ рѣшилъ, что это сдѣлалъ я, и при выдачѣ дядѣ жалованья удержалъ изъ него пять рублей. Дядя злился, но деньги отдалъ и все-таки велѣлъ мнѣ развѣшивать неводъ. Разъ я починялъ неводъ. Почтмейстеръ сидѣлъ у окна съ женой, дядя у своего окна. Вдругъ почтмейстеръ сказалъ:

— Ты, скотина, опять тутъ съ неводомъ!

Я посмотрѣлъ на дядю, тотъ мигнулъ мнѣ, какъ будто говоря: не показывай виду, что я здѣсь.

— А что? спросилъ я.

— Конечно вотъ пошлю дворника, будетъ что; скотъ...

— Съѣмъ что ли я дворъ-то? Вѣдь онъ казенный.

— Тебѣ коли сказано—нельзя тутъ развѣшивать—и баста.

— А что такое баста?

— А то, что если ты еще развѣсишь, я велю собрать и запру въ кладовую.

— Ну, и будешь ты хорошій мошенникъ.

Я взглянулъ на дядю, тотъ показалъ мнѣ кулакъ.

— Поговори ты еще, плутъ ты эдакой.

— Самъ плутъ! Колбасы берешь, сдачи не отдаешь...

— Это что такое значитъ, щенокъ ты эдакой!

Вышелъ почтальонъ. Почтмейстеръ увидалъ его и сказалъ ему: «сбери неводъ и принеси ко мнѣ». Почтальонъ не зналъ, что дѣлать.

— Не тронь!—заревѣлъ дядя.—Вы не смѣете брать мою вещь, потому что она моя и дарить я ее вамъ не намѣренъ. А если надо, то я подарю вамъ на саванъ,—отнесся онъ къ почтальону.

— У, крючкотворъ!—сказалъ почтмейстеръ неизвѣстно кому.

Послѣдствіемъ этой ссоры было то, что дядю вытребовали въ губернскую контору, откуда его послали исправлять должность какого-то почтмейстера на время его отпуска. Я развѣшивалъ неводъ на другомъ дворѣ, съ хозяевами котораго тетка была знакома.

Почтмейстерша была гордая женщина, какъ ее называли всѣ почтовыя женщины. Она кромѣ одной почтальонки, исполнявшей у нея должность горничной и повѣренной ея сердечныхъ тайнъ, никого изъ почтовыхъ не принимала, да и посторонніе бывали у нея рѣдко, и она такъ была недоступна, что дядя прозвалъ ее китайскимъ императоромъ, о которомъ я когда-то вычиталъ ему изъ какой-то книги. Тетку она никогда не принимала; не принимала ее даже и тогда, когда тетка въ большіе праздники приходила къ ней съ визитомъ. Тетка была женщина тоже неуступчивая, и послѣ того, какъ ее почтмейстерша не приняла два раза,—прекратила всякія путешествія въ почтмейстерскія обиталища. Почтмейстерша обзывала тетку разными зазорными словами, говорила всѣмъ своимъ знакомымъ, что ея помощница грубая, необтесанная женщина. Если случалось почтмейстершѣ встрѣтиться съ теткой, она отворачивала голову въ противоположную сторону; тетка смотрѣла въ землю, какъ-будто не примѣчая почтмейстерши.

Въ этомъ городѣ, да и во многихъ городахъ нашего православнаго отечества, жены любятъ присвоивать себѣ какую-то мнимую власть надъ другими женщинами, такъ же какъ и мужчины надъ мужчинами. Жена чиновника, просто на просто писца—уже модница, считаетъ себя дворянкой,—хотя бы мужъ получилъ чинъ на пятидесятомъ году своего служебнаго поприща,—считаетъ за необходимость носить шляпки, брезгуетъ не-чиновницами, забывая свое прошлое, и терпѣть не можетъ, если не-чиновница, жена писца, мѣщанина, солдата, одѣвается приличнѣе ея, носитъ шляпки. Жена столоначальника уже требуетъ, чтобы жены писцовъ, служащихъ въ столѣ ея мужа, приходили къ ней съ визитомъ, т. е. поздравить съ Рождествомъ, Новымъ Годомъ и Пасхой. Жена начальника принимаетъ уже женъ помощниковъ ея мужа, ведетъ себя съ достоинствомъ, требуетъ отъ нихъ повиновенія, капризничаетъ, заставляетъ ждать себя подолгу, и если женщина чѣмъ-нибудь не понравилась ей, она никогда не приметъ ее въ свое общество, какъ бы та ни добивалась этого. Такова была тетка и почтмейстерша. Тетка уже зазнавалась, обижалась тѣмъ, что къ ней зачѣмъ-нибудь приходили почтальонки, никогда не угощала ихъ, не ласкала попрежнему, говоря: «онѣ не стоятъ чести...» Она хотѣла, чтобы къ ней ходили съ визитами, приходили прощаться въ прощеный день, и если кто не дѣлалъ этой чести, она высказывала какой-нибудь почтальонкѣ свое нерасположеніе. Со своей стороны почтальонки старались выслужиться передъ ней, надѣясь на то, что ихъ мужьямъ будетъ небольшое облегченіе, потому что тетка попроситъ объ нихъ дядю, а тотъ напишетъ въ губернскій. Сортировщицы приходили съ визитами только ради формы и у тетки не заискивали ничего, зная отъ мужей, что дядя въ конторѣ ни рыба, ни мясо. Но тетка не хотѣла заводить знакомства съ женщинами, неравными ей, т. е. по должности ея мужа. Она хотѣла знакомиться и вести дружбу съ женщинами такими, мужья которыхъ занимали важныя должности. Но при бѣдности дяди, при томъ, что она не любила гулять, ходить въ театръ, была неразвита—въ такомъ большомъ городѣ ей трудно было свести знакомство. Она бы свела знакомство съ старушками и съ женами другого меньшаго городка, гдѣ по своему характеру можетъ быть скоро нашла бы такихъ женщинъ.

То же почти было и съ почтмейстершей. Почтмейстерша жила прежде въ глухомъ уѣздномъ городѣ и была купеческой породы. Воспитанная на богатый манеръ, вышедши замужъ и попавши въ большой городъ, она возмечтала, что она въ этомъ городѣ важная птица, тѣмъ болѣе, что почтмейстеръ не признавалъ надъ собою никакого начальства въ этомъ городѣ и гордился тѣмъ, что онъ почтмейстеръ первоклассной конторы. Поѣхала она съ визитами, ее вездѣ приняли сухо; заговорили съ ней по-французски — она не знаетъ; заговорили о какихъ-то глубокомысленныхъ предметахъ—она сказала глупость, и ее никто не сталъ приглашать, да и въ городѣ должность почтмейстера считали за пустую, безтолковую, на которую можно посадить кое-какого грамотнаго. Поэтому почтмейстерша должна была всегда сидѣть дома. Если она являлась въ клубъ или въ театръ нарядившись, ее осмѣивали, и болѣе всего смѣялись надъ ея физіономіей, называя ее коровой, а шляпку—коровьимъ сѣдломъ. Были у нея, правда, двѣ-три постоянныя гостьи, но и эти были такія же «коровы», никуда непринимаемыя и всѣми осмѣиваемыя.

Отчего жена почтмейстера и ея пріятельницы, жены стряпчаго и казначея, не могли сойтись съ обществомъ города, видно изъ того, во-первыхъ, что ихъ мужья занимали незначительныя должности, во-вторыхъ, онѣ были необразованны и не умѣли вести себя хорошо въ аристократическомъ обществѣ, и въ-третьихъ, городское общество раздѣлялось на три особыя общества. Главное и первое общество въ этомъ городѣ тогда состояло изъ богатыхъ купцовъ, торговыхъ людей и золотопромышленниковъ, большею частію единовѣрцевъ и различныхъ сектаторовъ, которые

знались только съ своимъ кругомъ, дѣлали вечера по своему и приглашали къ себѣ своихъ людей, даже приказчиковъ, и гнушались чиновниковъ, которые «ѣли пряники», т. е. получали отъ купцовъ много денежныхъ подарковъ и заводили своимъ женамъ шелковыя платья. Второе общество состояло изъ горныхъ инженеровъ и вообще горныхъ чиновъ, представителемъ которыхъ былъ главный начальникъ этого горнаго люда и всѣхъ горныхъ заводовъ. Такъ какъ этотъ городъ былъ горный, имѣлъ свое горное воинство, главнаго начальника, свои управленія, свою полицію и свои горные порядки, чиновники были люди бывалые и большинство ихъ щеголяло высшимъ образованіемъ, то они относились къ другимъ чиновникамъ не изъ ихъ круга съ презрѣніемъ, называя ихъ не-своими людьми, грубыми и необразованными, и поэтому конечно считали неприличнымъ знакомиться съ чиновниками низшаго сорта и льнули къ купцамъ, желая выжать изъ нихъ какую-нибудь пользу для себя. Остальные чиновники составляли небольшой кружокъ, оставленный большинствомъ въ сторонѣ и презираемый всѣми. Они съ своей стороны презирали горныхъ и жили здѣсь исключительно для службы, погрязли въ службѣ, никакъ не хотѣли развиваться, называя себя единственными дѣловыми людьми. Такимъ образомъ въ этомъ городѣ до сихъ поръ существуютъ двѣ враждующія партіи, изъ которыхъ горная, какъ самая сильная, производитъ на остальныя партіи такое вліяніе, что тѣмъ волей-неволей нужно подчиняться горному элементу. Здѣсь по крайней мѣрѣ три четверти населенія состоитъ изъ горныхъ людей—чиновниковъ, мастеровъ и рабочихъ, а остальная четверть состоитъ изъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, изъ которыхъ каждое считаетъ себя самостоятельнымъ и раздѣляется на четыре, независимыя другъ отъ друга, мѣста: суды съ магистратомъ и думой, мѣста финансовъ, почта и училища съ гимназіей. Въ этомъ же числѣ и горные учителя, купцы, мѣщане и праздный пріѣзжій народъ. Каждое изъ этихъ обществъ дѣлаетъ собранія и вечера для своего общества. Такъ, купцы и мѣщане имѣютъ свои собранія подъ предсѣдательствомъ своего туза—городского головы,—свои вечера, на которые, ради только приличія, приглашаютъ главныхъ лицъ, которыя нужны очень богатому человѣку, какъ напр. губернаторъ, главный начальникъ, генералы и прочая подначальная знать, въ которую никакъ не входятъ судья или какой-нибудь почтмейстеръ съ казначеемъ. Богатые люди знаютъ тоже, кого нужно пригласить. Горное вѣдомство имѣетъ свои собранія, похожія на губернскую аристократію и благородное собраніе, гдѣ собираются исключительно горные—генералы, инженеры, управляющіе заводами и купцы съ женами и дочерями, которыя особенно славятся хорошимъ приданымъ, очень часто попадающимъ въ руки инженеровъ. Остальные чиновники собираются кое у кого только для картъ; дамы сплетничаютъ и разсказываютъ городскія новости, полученныя или отъ мужей, или отъ дѣтей, или отъ знакомыхъ людей, а большею частію—отъ прислуги.

Почтмейстеру, какъ имѣющему сношеніе со всѣми горожанами, можно бы было попасть во всѣ кружки городскихъ обществъ, Но онъ почему-то очень зазнался и никого не хотѣлъ знать, а главное,—онъ постоянно на вечерахъ затѣвалъ какой-нибудь скандалъ. Впрочемъ, онъ иногда и устраивалъ вечера, но это были вечера глухіе, осмѣиваемые остальными обществами. Онъ ходилъ даромъ въ театръ и влюблялся въ актрисъ, и этихъ-то актрисъ принималъ къ себѣ съ танцмейстеромъ, а потомъ самъ отправлялся изъ театра къ какой-нибудь актрисѣ. Такимъ образомъ онъ изъ артистическаго искусства извлекалъ очевидную пользу и злилъ свою жену. Особенно хвастался онъ знакомствомъ съ однимъ сочинителемъ,—учителемъ уѣзднаго училища,—который сочинялъ эпитафіи и кое-какіе стихи, и онъ дарилъ ихъ разнымъ барышнямъ. Этого учителя рѣдкіе принимали, потому что онъ былъ очень вспыльчивъ, разсказывалъ разныя сплетни и грозился описать обидѣвшаго его человѣка въ толстомъ журналѣ.

Дядя не любилъ этого сочинителя за то, что тотъ, встрѣчаясь съ нимъ въ конторѣ, не кланялся ему; да и дядя говорилъ, что этотъ сочинитель только людей обманываетъ, опиваетъ и объѣдаетъ ихъ. За то онъ полюбилъ другого сочинителя,—какого-то господскаго человѣка,—жившаго въ городѣ и промышлявшаго сочиненіемъ разныхъ прошеній, частью кляузныхъ, частью довольно правдивыхъ. Чиновники городскіе, особенно горные, не любили его. Этотъ сочинитель называлъ себя литераторомъ, говоря, что онъ помѣщаетъ разныя сочиненія въ періодическихъ изданіяхъ. Поэтому его боялись въ городѣ и ненавидѣли за то, что въ какой-то газетѣ былъ описанъ городской скандалъ, и этотъ сочинитель разболталъ своимъ знакомымъ, что скандалъ описалъ онъ, и еще послалъ въ редакцію что-то уморительное. Больше всѣхъ его уважалъ почтмейстеръ, говоря, что онъ либералъ, не терпитъ неправды, не слушаетъ главнаго начальника края, который приказывалъ не отсылать въ редакцію статьи этого сочинителя; а болѣе онъ уважалъ его за то, что онъ похвалилъ почтмейстера опять въ той же газетѣ. Этотъ литераторъ часто былъ приглашаемъ дядей, который, считая его за правдиваго человѣка, просилъ его отдѣлать почтмейстера и помочь мнѣ въ чемъ-нибудь. Въ это время я сочинилъ одну драму изъ дѣлъ суда, показалъ ее судьѣ, судья похвалилъ ее, но не рѣшался хлопотать напечатать ее въ какомъ-нибудь журналѣ. Въ это время я постоянно мечталъ сдѣлаться сочинителемъ, быть извѣстнымъ и такимъ, чтобы меня уважали и чрезъ меня дали бы хорошее мѣсто дядѣ. Дядя на мои сочиненія смотрѣлъ, какъ на глупость. Я часто сидѣлъ долго по ночамъ и дядя злился. Придетъ онъ ко мнѣ къ столу, долго смотритъ на меня, двѣ папиросы выкуритъ и скажетъ:

— Какую ты черную немочь пишешь?

— Я свое пишу.

— Кому?

— Да напечатать хочу.

— Я вотъ тѣ напечатаю. Гаси огонь, пошелъ спать!

— Я деньги получу. Вонъ судья тоже хвалилъ.

Подойдетъ въ другой разъ. Опять долго стоитъ и скажетъ: «смотри, парень, чтобы тебѣ худа не было!»...

Я разсержусь, что дядя не уважаетъ моего труда, и хочу сказать: «я вѣдь вамъ не мѣшаю», а скажу: «я своихъ свѣчъ куплю».

— Никогда не смѣй писать. Только бумагу мараешь. Читалъ бы лучше законы да изъ суда носилъ бы писать, чтобы жалованья больше дали.

А въ это время я много мечталъ о себѣ. Еще когда я учился, то писалъ все проповѣди. Потомъ я понялъ, что я проповѣдями никого не удивлю—бросилъ писать проповѣди и сталъ сочинять стихи. Стиховъ я писалъ много, все большею частью оды; читалъ ихъ товарищамъ, тѣ говорили, что они сами лучше меня сочиняютъ, и читали свои стихи, которые дѣйствительно казались мнѣ лучше моихъ. Учителя говорили, что я не умѣю сочинять, но не говорили, какъ нужно писать, и смѣялись. Только разъ я удивилъ въ училищѣ однимъ разсказомъ о какомъ-то разбойникѣ, и меня тогда еще прозвали сочинителемъ. Но кромѣ этого разсказа я ничего не могъ выдумать. Когда я поступилъ на службу, то постоянно писалъ стихи. Стихи писать мнѣ казалось легко, прозой я не умѣлъ писать. Стихи я писалъ большею частью про судью, засѣдателя и секретаря, читалъ ихъ служащимъ, которые меня слушали. Когда я былъ въ театрѣ, я вздыхалъ, сердце щемило и я думалъ: «погодите—я вотъ свою драму скоро дамъ для представленія, самъ буду сидѣть въ парадизѣ: всѣ будутъ хвалить драму, хлопать въ ладоши, меня будутъ вызывать; я спрячусь... Про меня всѣ будутъ говорить».

И я постоянно мечталъ о себѣ много: лежу я,—мнѣ хочется написать хорошее; во снѣ я бредилъ хорошими знакомствами: шелъ куда-нибудь,—я воображалъ себя сочинителемъ; на службѣ ненавидѣлъ служащихъ и думалъ: «погодите, будете вы бояться меня; погодите, я самъ получу со временемъ должность судьи, и заведу такіе хорошіе порядки, что всѣ будутъ довольны мной». Но я былъ еще далеко неразвитъ въ это время: я читалъ только старыя книги, и то повѣсти и романы; ученаго я не понималъ и не хотѣлъ читать.

Дядя хотѣлъ пристроить меня куда-нибудь въ домашніе учителя, но, при всемъ его знакомствѣ, ему не удалось этого сдѣлать. А хотѣлось ему, чтобы я былъ учителемъ для того, чтобы я получалъ побольше денегъ. Горные служащіе занимались этимъ и получали въ мѣсяцъ отъ 5 до 10 р. за уроки, но ихъ считали за людей образованныхъ, и ихъ однихъ только нанимали, да они и не занимались службой послѣ обѣда. Богатые купцы нанимали учителей изъ училищъ и платили имъ большія деньги. Найти же мнѣ какое-нибудь постороннее занятіе, кромѣ службы, было довольно трудно и неудобно, потому что я одѣвался въ худенькое пальтишко, былъ робокъ, застѣнчивъ, не умѣлъ отвѣчать на вопросы и не умѣлъ занять человѣка разговоромъ; кромѣ этого въ пять часовъ вечера я долженъ былъ идти на службу. Дядя злился, что мнѣ Богъ не даетъ счастья получать деньги изъ-за службы, и называлъ меня дармоѣдомъ, бумагомарателемъ. Но онъ не велѣлъ мнѣ брать взятокъ въ судѣ, получать тамъ какіе-либо доходы или заводить дружбу со служащими. Онъ думалъ, что брать взятки—значитъ сдѣлаться плутомъ и никуда негоднымъ человѣкомъ; если онъ самъ получалъ доходы, то называлъ ихъ дѣломъ безгрѣшнымъ, и даже злился тогда, когда какой-нибудь богатый корреспондентъ давалъ только одному почтмейстеру; а если получать доходы въ судѣ,—значитъ, стать наравнѣ со служащими, а служащихъ судейскихъ онъ ненавидѣлъ.

Долго дядя ломалъ голову надъ тѣмъ, какую бы такую пріискать мнѣ работу, и ничего не придумалъ. Былъ у насъ въ судѣ служащій Прохоровъ. Онъ, не смотря на то, что крѣпко пилъ водку, постоянно переписывалъ комедіи, драмы и водевили для ролей актерамъ. Изъ театра ему платили по три и по пяти рублей за комедію или драму, и если работа была спѣшная, требовалась къ утру, онъ просиживалъ всю ночь. Работы у него было много, и часто онъ пьяный не могъ поспѣть къ утру. Я подлаживался къ нему, просилъ у него работы и онъ удѣлялъ мнѣ половину, обѣщаясь заплатить рубль. Я переписывалъ цѣлую ночь; дядя съ теткой радовались, что я тружусь. Такимъ манеромъ я писалъ цѣлую недѣлю и за работу получилъ только одинъ рубль, потому что Прохоровъ остальныхъ денегъ не заплатилъ. Дядя называлъ Прохорова подлецомъ, велѣлъ мнѣ пожаловаться на него судьѣ; но я жаловаться не сталъ. Дядя наконецъ придумалъ: хорошо бы мнѣ переписывать сочиненія у уважаемаго имъ литератора, потому-де, что я самъ умѣю сочинять, и потому могу переписать безъ ошибокъ.

Этотъ литераторъ, Николаевъ, былъ какъ-то разъ въ конторѣ вечеромъ; онъ справлялся, вышелъ ли такой-то журналъ, въ редакцію котораго онъ послалъ свою статью. Дядя затащилъ его къ себѣ, но предварительно велѣлъ теткѣ убрать какъ можно чище и наряднѣе комнату.

— Какого ты лѣшаго зазвалъ опять?—спросила тетка сердито.

— Молчи; сочинителя Николаева... Онъ для него годится.

— Ну ужъ. Какой-нибудь кляузникъ. Наживешь ты съ нимъ бѣды.

Все-таки тетка вымела комнату, убрала съ дивана валявшіяся вещи, скатерти на столахъ приладила, цвѣты на окнѣ поправила. Наконецъ вошелъ дядя съ постороннимъ человѣкомъ. Я торчалъ на полатяхъ и притаившись закурилъ трубку.

— Милости просимъ, милости просимъ, пожалуйте!—говорилъ дядя вошедшему съ нимъ литератору.

— Вотъ вы гдѣ обитаете!

— Извините, что хата-то дыровата! — сострилъ дядя.—Подлецъ почтмейстеръ вонъ куда меня стурилъ. А мнѣ, сами знаете, не такія должно имѣть комнаты.

— Скотина.

— Садитесь пожалуйста. Извините—мебель-то у меня дрянь. Бѣдность, съ житьемъ смучился.

— Да, нынче все дорого.

Дядя принесъ графинъ водки и двѣ рюмки; тетка принесла закуски.

— Выпьемте.

— Извините... Я не пью-съ... Простую я не могу.

Дядя досталъ изъ шкафа дареную ему бутылку хересу, напѣвая какую-то пѣсню, вѣроятно отъ радости, что онъ можетъ угостить гостя и дорогимъ виномъ. Литераторъ выпилъ рюмку хересу и похвалилъ вино. Я выглянулъ изъ-за полатей въ комнату: «что, молъ, это за штука—сочинитель?»

Эта штука была невысокаго роста, съ длинными волосами, маленькимъ блѣднымъ лицомъ, обросшимъ бакенбардами и бородой. На немъ былъ сюртукъ, жилетка съ цѣпочкой, вѣроятно отъ часовъ. Онъ то и дѣло поправлялъ галстухъ и загибалъ голову кверху. Наружность его мнѣ очень не понравилась.

— Ну, какъ дѣла ваши?—спросилъ его дядя.

— Да пока ничего. Вотъ только въ прошлый разъ редакція не приняла статью, назадъ возвратила.

— Экіе скоты!—Дядя не зналъ еще въ то время, что такое редакція.

— Впрочемъ я передѣлалъ. Въ другую редакцію хочу... Да и эта редакція за одну статью мнѣ и спасибо не сказала.

— А туда вы еще не посылали?

— Нѣтъ. Тамъ лучше платятъ.

— Это хорошо, что платятъ. Они, скоты, рады на даровщинку-то жить.

— Свиньи... Вотъ я теперь написалъ хорошую статью о мастеровыхъ. Я всегда съ маленькихъ начинаю, а потомъ гдѣ-нибудь вклею главное начальство.

— Это хорошо. Оно и выходитъ незамѣтно.

— Они-то замѣчаютъ. Потомъ ночи не спятъ, такъ ихъ, знаете, и подергиваетъ... Ужъ они думаютъ, думаютъ, какой это шельма отдѣлалъ ихъ.

Дядя захохоталъ.

— А если бы не наша братья, не то бы было. Повѣрьте, было бы хуже. Мы только и урезониваемъ ихъ: свиньи вы эдакіе, что вы дѣлаете-то? поглядите-ка, какъ объ васъ весь свѣтъ судитъ.

— То-то, то-то. Ну-съ!

— И въ нашей братьѣ есть тоже дряни. А кто у васъ сочиненіями занимается?—управляющіе заводами, разные богатые люди, которые дальше носу ничего не видятъ.

— Подлецы! Пожалуйте рюмочку.

Послѣ выпивки литераторъ вытащилъ изъ кармана тетрадку, сшитую изъ почтовой бумаги. Я видѣлъ, что на ней было что-то написано мелко, исчеркано, запачкано разными цвѣтами—краснымъ и зеленымъ.

— Вотъ я эту сдатью посылалъ въ редакцію. Видите, какъ исчерчено? А тутъ вонъ цѣлый уголъ оторвали, я ужъ самъ по памяти записалъ... Теперь я передѣлалъ.

— А! Я думаю, сколько вы это писали?

— Это все въ сутки.

— Ну-те-ка прочитайте... А еще винца?

— Нельзя. Я прочитаю.

Литераторъ сталъ читать, но я ничего не понялъ: ужъ больно хитро было написано, да и самъ-то онъ едва разбиралъ.

— Видите, какъ я мелко пишу? Просто всѣ глаза испортилъ, да и въ редакціяхъ, поди, ругаютъ меня,

— Вы бы переписать отдали.

— О! наврутъ: да еще перескажутъ пожалуй.

Литераторъ принялся читать; читалъ долго что-то такое, чего я не могъ понять, часто останавливался; дядя заглядывалъ въ тетрадку съ боку, улыбался. Въ такомъ умиленіи я рѣдко видалъ дядю; такъ онъ улыбался, когда клалъ въ мѣшокъ любимую имъ рыбу, приговаривая: «ишь, шельма!..» Когда литераторъ кончилъ, дядя сказалъ: «такъ ихъ скотовъ и надо!» Литератору это понравилось и онъ захохоталъ. Потомъ литераторъ началъ выхвалять свои достоинства:

— Даромъ что я нигдѣ не обучался, а тоже ставлю имъ шпильки. Ужъ больно я солонъ имъ: какъ, говорятъ, такая бестія, вонъ что пишетъ. Боятся, канальи. Вонъ тоже есть чиновничишки-литераторы: начнутъ съ конца, да и кончатъ началомъ; такъ тѣ въ хорошіе дома вхожи, потому что они дворяне, а я ничто по ихъ мнѣнію выхожу. Тоже печатать посылаю. Вонъ хоть, по примѣру, Гавриловъ въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» статью объ улучшеніи нашей промышленности напечаталъ, да такую дрянь, что чортъ знаетъ что! въ свою пользу такъ и наровитъ пригнуть... Писали мнѣ, что ему за эту статью прислали пятьдесятъ рублей, тогда какъ она и копѣйки не стоитъ, да и онъ, знаете, тысячами ворочаетъ. Меня въ то время не было. Пріѣзжаю я сюда, здѣсь по всему городу только и новостей, что Гавриловъ статью напечаталъ. Что, говорятъ мнѣ: Гавриловъ-то каковъ! у Гаврилова протекція есть. Ну, вотъ я и накаталъ опроверженіе, просто бѣда...

— А за это ничего? Не посадятъ?

— За что?.. Ну и послалъ я въ «Сѣверную Пчелку»; ждалъ мѣсяцъ, ждалъ два. Написали: нельзя принять. Я письмо туда, прошу назадъ, черти, пришлите, денегъ послалъ. Возвратили. Значитъ брезгуютъ, что я не чиновникъ.

— То-то нынѣ времена-то скверныя: каждый такъ и наровитъ напакостить другому.

— Это такъ. Вотъ меня и подергиваетъ обличить это.

— Ну ужъ это тоже загвоздка.

— Ничего. Лишь бы только не мѣшали мнѣ.

— Это главное... Ну, такъ у васъ какъ теперь?.. Вы печатаете гдѣ-нибудь?

— Теперь меня три редакціи приглашали печатать;—самыя лучшія: «Сѣверная Пчела», «Современникъ» и «Отечественныя Записки».

— Что же тамъ, какъ?

— Тамъ можно все такое забористое писать и платятъ тамъ хорошо.

— А вы черезъ кого деньги получаете?

— Мнѣ высылаютъ черезъ одного здѣшняго купца... Такъ-то неловко... Да и я посылаю больше не по почтѣ, и своей фамиліи не подписываю.

— А! боитесь, значитъ... Какой хитрецъ.

Литераторъ захохоталъ.

— Ужо я принесу вамъ свою печатную повѣсть.

— Хорошо. Я никогда не читаю книжекъ, не охотникъ, а вашу прочту.

— Моя—маленькая, веселая: животъ надорвете отъ смѣху и юмору... Эффекты какіе, виды, чувства сколько!..

«Ишь ты какой храбрый! Не врешь, такъ правда», подумалъ я. А тотъ то и дѣло хвалитъ себя. Дядѣ онъ повидимому надоѣлъ: дядя не любилъ хвастливыхъ людей, тѣмъ болѣе такихъ, которые не живутъ въ ладу съ людьми. Сочинителей онъ считалъ за шарлатановъ, которые на службу не ходятъ, а пишутъ про себя и куда-то посылаютъ. Дядя рѣшительно не понималъ, за что этотъ литераторъ получаетъ деньги? Тотъ говорилъ, что за то, что матеріалы доставляетъ. Дядя обругалъ редакцію и спросилъ: а имъ на что матеріалы?.. Печатать,—сказалъ тотъ.—Дядя понялъ, но спросилъ: вѣрно они богаты тамъ? Литераторъ растолковалъ ему, что редакціи издаютъ книжки на счетъ подписчиковъ, и оставшуюся сумму отъ расходовъ за печатаніе дѣлятъ съ сотрудниками, и что редакторы-издатели поэтому очень богатые люди. Дядя дивился, слушалъ повидимому литератора съ удовольствіемъ, но у него часто вырывались слова: я васъ хотѣлъ... Но литераторъ не давалъ договорить дядѣ и ораторствовалъ о своихъ дѣяніяхъ очень горячо. Наконецъ-таки дядя сказалъ:

— Я васъ хотѣлъ попросить насчетъ моего парнишки...

— А у васъ развѣ сынъ есть?

— Нѣтъ, племянникъ, въ уѣздномъ судѣ служитъ.

— Большой?

— Да вотъ ужъ двадцатый годъ пошелъ.

— Велико ли жалованье получаетъ?

Начался разговоръ о моей службѣ; оба ругали судъ, судью и служащихъ судейскихъ; литераторъ хотѣлъ видѣть меня.

— Онъ гдѣ у васъ теперь?

— Не знаю. А онъ съ большими способностями... Самъ что-то пишетъ.

— А! что же онъ пишетъ, стихи?

— Не знаю... Петинька, что ты пишешь?— вскричалъ дядя.

— Ничего,—сказалъ я.

Лицо у меня при этихъ словахъ покраснѣло; я озлился на дядю, не зналъ, сказать ли, что я пишу, но мнѣ очень хотѣлось спуститься съ полатей и показать ему драму.

— Дуракъ! тебя спрашиваютъ!—закричалъ дядя.

— Да я такъ, ничего... Я драму пишу.

— О, нынче трудно писать драмы. Мечта одна... Я послалъ одну драму, пропала въ редакціи.

— Вотъ я хотѣлъ попросить васъ, чтобы вы прочитали его сочиненіе, а потомъ похлопотали бы о деньгахъ.

— Хорошо, если время будетъ, похлопочу. Знаете, тутъ работы много.

По уходѣ этого литератора дядя обругалъ его плутомъ. «Всю бутылку, шельма, выпилъ, а какъ заикнулся за парня заступиться—и домой пошелъ. Сквалыга, право!»... Черезъ недѣлю этотъ литераторъ былъ у дяди и просилъ его отправить страховое письмо въ какую-то редакцію даромъ, потому-де, что у него теперь нѣтъ ни копѣйки денегъ, и помимо почтмейстера, потому что почтмейстеръ пожалуй прочитаетъ его статью и разболтаетъ въ городѣ. Дядя сказалъ, что онъ письмо пожалуй отправитъ, но у него впрочемъ нѣтъ казенной печати, да онъ и боится отправить письмо, чтобы не нажить себѣ бѣды. Литераторъ остался недоволенъ этимъ. Черезъ нѣсколько времени кто-то сказалъ дядѣ, что литераторъ Николаевъ собирается описать въ газетѣ почтмейстера, помощника съ племянникомъ за ихъ-де тупоуміе. Дядя озлился, обругалъ Николаева, меня проклялъ и обозвалъ какъ-то всякія книжки и всѣхъ сочинителей. Съ этихъ поръ на мои занятія онъ со злостью смотрѣлъ; одинъ разъ даже оплеуху мнѣ засвѣтилъ, и я писалъ секретно, когда не было дома дяди и тетки, или лежа съ карандашемъ на полатяхъ.

Развитіе мое плохо подвигалось. Въ судѣ я только переписывалъ очень скоро безсмысленныя бумаги, въ которыхъ рѣшительно не понималъ, къ чему онѣ и для чего такая формальность безтолковая? Дѣла мнѣ не давали читать, потому что меня считали недостойнымъ этой чести; читалъ я законы, но ихъ мудрое нарѣчіе плохо понималъ: читаешь какую-нибудь статью, не понимаешь; а если и поймешь, такъ забудешь, гдѣ ее найти,—такъ онѣ отбиваютъ охоту отъ чтенія. Но все-таки я понялъ въ судѣ очень много, даже больше, чѣмъ другіе служащіе, прослужившіе въ судѣ два года. Я напримѣръ научился составлять бумаги: отношенія, указы, донесенія и рапорты, и форма ихъ изложенія казалась мнѣ безтолковою и пустою; по одной бумагѣ я слѣдилъ за ходомъ дѣла; въ копіяхъ съ рѣшеній я видѣлъ цѣлое короткое дѣло и представлялъ себѣ положеніе обвиняемыхъ людей въ такомъ видѣ, что они невиноваты. Зная очень хорошо тѣхъ людей, которые сочиняли проекты рѣшеній, тѣхъ людей, съ которыми я служилъ,—я думалъ, что они пишутъ рѣшенія не такъ, какъ должно: я сравнивалъ ихъ съ хвастливымъ литераторомъ Николаевымъ, который, по моимъ понятіямъ, писалъ не дѣло, а фантазіи. Но сочинять рѣшенія мнѣ казалось довольно труднымъ и тяжелымъ дѣломъ: я думалъ, что я въ рѣшеніи имѣю дѣло съ людьми; содержаніе дѣла казалось мнѣ неполнымъ; мнѣ хотѣлось самому поговорить съ обвиняемымъ: какъ было дѣло, а тамъ уже писать проектъ рѣшенія, не опираясь на показанія и разныя бумаги, составляющія дѣло. Кромѣ этого мнѣ страшно показалось рѣшать участь человѣка. Я понималъ теперь, что я служу въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣшается участь людей, откуда человѣкъ выходитъ запятнанный позоромъ на всю жизнь или теряетъ все свое достояніе. Вотъ я и сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывалъ въ разныя мѣста, читалъ различныя копіи, реестры и все то, что попадалось мнѣ на глаза. Когда я былъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не было заперто, и узналъ очень многое. Страшная небрежность и хаосъ такъ-таки и царили тогда въ нашемъ судѣ: бумаги и дѣла разбросаны были такъ, что ихъ или не скоро отыщешь, или совсѣмъ не найдешь: многія дѣла вовсе не запирались, а оставлялись служащими на окнахъ, когда они уходили домой; все дѣлалось такъ, какъ кому захочется, дѣлалось машинно, принужденно, такъ и казалось, что служащіе или вовсе не знаютъ своего дѣла, или

пишутъ для денегъ цѣлый мѣсяцъ, цѣлый годъ и цѣлую жизнь, пишутъ и сидятъ въ судѣ для должностей, или для чиновъ, или для пенсіи, или только изъ-за куска хлѣба... Отъ нихъ я ничего не могъ пріобрѣсть хорошаго. Соберутся они рано, поздороваются, обругаютъ другъ друга, разскажутъ какую-нибудь новость или что-нибудь интересное для нихъ, напр. похожденіе кого-нибудь въ открытыхъ домахъ, какъ кто-нибудь словилъ на бульварѣ дѣвицу и обманулъ ее, или какъ кто-нибудь изъ нихъ у какой-то Машки разбилъ стекла въ окнѣ, выказывая свою удаль и храбрость. Неучаствовавшіе въ этихъ разговорахъ, люди большею частью чиновные и заваленные работой, перемолвливались о томъ: сколько-то имъ дадутъ за этотъ мѣсяцъ жалованья, когда-то будетъ ревизоръ и губернаторъ, и утѣшались тѣмъ, что судья и засѣдатели получили выговоръ. Члены разсуждали только о картахъ и о городскихъ скандалахъ, да кричали на служащихъ; служащіе ничего не читали хорошаго, да имъ и некогда, и нечего было читать, кромѣ сказокъ и смѣшного. Въ судѣ хотя и получались губернскія и сенатскія вѣдомости, но тамъ читались только распоряженія правительства и начальства, указы, производства и объявленія.

Черезъ годъ меня сдѣлали столоначальникомъ горнозаводскаго стола и я крѣпко принялся за изученіе дѣлъ. Дѣлъ было немного, и я одинъ справлялся со всѣмъ, что у меня было въ шкафу. Больше меня занимало сначала то, что у меня въ карманѣ ключъ отъ шкафа, и въ этомъ шкафѣ дѣла, которыя ввѣрены мнѣ для храненія, и въ этихъ дѣлахъ заключаются судьбы, счастье и горе нѣсколькихъ людей. Дѣла въ моемъ столѣ были: о кражѣ горнозаводскаго имущества, казеннаго и частнаго, о спорныхъ лѣсныхъ дачахъ, о лѣсныхъ порубкахъ, объ уничтоженіи межевыхъ знаковъ и спорныя дѣла объ имѣніяхъ мастеровыхъ. Многія изъ этихъ дѣлъ лежали по пяти и десяти лѣтъ, немногія рѣшались скоро или отсылались къ заводскимъ исправникамъ для переизслѣдованія. Я тотчасъ принялся за лежалыя дѣла, сталъ читать ихъ и рѣшительно не понималъ: кто правъ, кто виноватъ и что дѣлать? По своему соображенію я писалъ доклады, несъ дѣла въ присутствіе; членъ откладывалъ читать ихъ до другого раза. Мои доклады оказались никуда негодными; членъ сказалъ мнѣ, что я не знаю дѣла и долженъ спрашивать своего предмѣстника; тотъ мнѣ и указывалъ, что дѣлать, или говорилъ: «право не знаю, спросите горнаго члена». Такъ какъ я былъ одинъ въ столѣ, то мнѣ при всемъ моемъ стараніи никакъ не удавалось упросить читать большія дѣла, да если я и читалъ, такъ не зналъ, что тутъ нужно дѣлать? Справившись въ законѣ, найдешь что-то подходящее къ этому дѣлу, прочитаешь въ законѣ дальше, другія статьи другое говорятъ... и думаешь, хлопаешь глазами; думаешь: «какъ? что же дѣлать-то?». Такъ долго сидишь, въ жаръ тебя броситъ, отупѣешь и бросишь дѣло въ шкафъ... А чортъ съ нимъ, скажешь, въ другой разъ хорошенько займусь. Черезъ мѣсяцъ займешься и опять то же самое. И досадно мнѣ, что у меня лежатъ такія старыя и тяжелыя дѣла, досадно, что я понять содержаніе ихъ не могу, зачѣмъ пишутъ такъ непонятно, досадно, что другіе столоначальники въ одинъ день прочитаютъ дѣло и на другой—напишутъ по этому дѣлу проектъ рѣшенія.

Пробовалъ и я писать проекты рѣшеній, но сочинялъ ихъ цѣлую недѣлю, потому что раза по три переписывалъ, но горный членъ не читалъ моихъ рѣшеній, а сочинялъ самъ. Поэтому, чтобы пріохотить его къ занятію и сбыть скорѣе дѣла, я усердно принялся писать доклады, и, хотя горный членъ передѣлывалъ ихъ, дѣла въ моемъ шкафу долго не залеживались. За это мнѣ давали жалованья сначала семь рублей, а потомъ, когда я сталъ ссориться съ судьей, мнѣ опять стали давать по три рубля въ мѣсяцъ.

Въ два года я узналъ все, что дѣлалось въ судѣ, и мнѣ ужасно тяжело было служить тамъ. А служилъ я вотъ съ какими людьми.

Судья и засѣдатели получали небольшое жалованье, но все-таки имъ на это жалованье было можно жить, если не допускать излишней роскоши. За то имъ платили отъ заводовъ, потому что тогда была крѣпостная зависимость. Въ судьи попадалъ человѣкъ, состоящій въ роднѣ съ правителемъ губернаторской канцеляріи или совѣтникъ губ. правленія, въ засѣдатели—столоначальники губ. правленія, люди мало знающіе судебную часть. Нашъ судья былъ человѣкъ богатый, родня правителю канцеляріи губернаторской, нигдѣ не кончившій курса, человѣкъ добрый, но пріѣхавшій въ судъ учиться судопроизводству и для того, чтобы считаться въ уѣздѣ важнымъ лицомъ. Приходилъ онъ на службу въ первомъ часу и выходилъ въ четвертомъ. По приходѣ начиналъ разговаривать съ засѣдателями о карточной игрѣ и о прочемъ постороннемъ цѣлый часъ, потомъ начиналъ распечатывать пакеты. Онъ читалъ только предписанія и указы начальства, и на всѣхъ бумагахъ писалъ число и мѣсяцъ. Это продолжалось съ часъ. Остальное время онъ употреблялъ на подписываніе журналовъ, бумагъ и протоколовъ, прошеній и вставокъ въ рѣшенія опредѣленія времени наказанія, или числа розогъ и плетей. Число и время въ рѣшеніяхъ онъ выставлялъ по своему желанію; противъ поля въ журналѣ обыкновенно выставлялось засѣдателемъ число: отъ 30 до 40 ударовъ, или отъ 3 мѣсяцевъ до 6 мѣсяцевъ, а судья писалъ: «тридцатью пятью ударами», «на четыре мѣсяца». Случалось, что ему приходила охота заняться дѣломъ, но доклады ему было лѣнь читать, потому что ихъ было много. Полагаясь вполнѣ на членовъ и секретаря, онъ спрашивалъ ихъ:

— О чемъ это докладъ?

Членъ объяснялъ ему.

— Ну-съ, какъ по вашему?

— Да ничего. Надо журналъ писать.

— Какъ вы находите?

— Надо въ Сибирь сослать.

— Ну, ужъ эта Сибирь! Наполнимъ же мы ее всякими людьми. Экія канальи, не живется имъ на одномъ мѣстѣ.

— Мы свое дѣло сдѣлали, а тамъ палата пусть по-своему рѣшаетъ.

— То-то и есть.

— Вотъ я не знаю только, какъ имъ не стыдно писать вамъ выговоры?—говорилъ другой предсѣдатель.

— Что эти выговоры! Стоитъ обращать вниманіе! Знаемъ мы, сколько они сами-то получаютъ выговоровъ...

До положенія служащихъ судья не касался и считалъ ихъ за чернорабочихъ людей. Онъ только опредѣлялъ и увольнялъ ихъ и зналъ только столоначальниковъ. Впрочемъ онъ давалъ на канцелярію къ Новому году и къ Пасхѣ по десяти рублей изъ своихъ денегъ.

Засѣдателей было въ то время два. Одинъ по уголовной части, котораго называли «сальной бочкой», а другой по гражданской, и этого звали «пряничнымъ пѣтушкомъ». Сальная бочка и пряничный пѣтушокъ знали свое дѣло и извлекали изъ него каждый пользу для себя, но если случалось, что одному засѣдателю нельзя быть въ судѣ, то другой занималъ его должность и въ его должности ничего не смыслилъ. Оба засѣдателя гдѣ-то учились, но нигдѣ не кончили курса, а на службу поступили копіистами чуть ли не съ пятнадцатилѣтняго возраста. Каждому было по пятидесяти лѣтъ и каждый не одинъ разъ былъ подъ судомъ, изъ-подъ котораго каждый ловко вывернулся. Прежде они писали рѣшенія и различные доклады, когда же сдѣлались засѣдателями, то восчувствовали барство, облѣнились и всю обязанность сочиненія докладовъ и рѣшеній предоставили столоначальникамъ или простымъ канцелярскимъ служителямъ, которые исключительно занимались только рѣшеніемъ дѣлъ и получали за это жалованье больше столоначальниковъ. Бо́льшую часть времени засѣдатели проводили въ разговорѣ съ судьей, секретаремъ, повѣренными отъ заводовъ, съ знакомыми просителями и столоначальниками. Къ своему дѣлу они относились какъ-то шутя, подписывали бумаги, распекали столоначальниковъ, писали въ настольныхъ журналахъ резолюціи и при этомъ говорили, что они «о-охъ, какъ ужасно смучились!...» Когда имъ бывало скучно дома, они приходили въ судъ по вечерамъ не для занятій по дѣламъ, а для препровожденія времени разговорами съ секретаремъ, надсмотрщикомъ и столоначальниками, и при этомъ дѣлали видъ, что они это дѣлаютъ какъ-будто изъ милости къ маленькимъ людямъ. Вечеромъ они только мѣшали занятіямъ; впрочемъ служащіе рады были услышать какую-нибудь сплетню отъ засѣдателя и потомъ перетолковать ее по-своему. Когда убрали «сальную бочку», въ судъ пріѣхалъ Добрынинъ, имѣвшій чинъ коллежскаго регистратора и тридцать три года. Онъ приходился судьѣ родней по женѣ и дѣла рѣшительно не смыслилъ. Помню я, когда ему положили въ первый разъ кучу дѣлъ безъ докладовъ и настольный реестръ со входящими бумагами, и онъ, желая показаться знающимъ дѣло, долго перебиралъ дѣла, но и эта переборка ему стала не подъ силу. Онъ призвалъ столоначальника.

— А зачѣмъ вы дѣла ко мнѣ положили?

— Для того, чтобы вы прочитали.

— А вы на что столоначальникомъ сдѣланы?

— У меня очень много дѣлъ.

— А сколько?

— Да дѣлъ восемьдесятъ нерѣшенныхъ.

— Такъ вы и напишите по всѣмъ доклады; тогда и дѣла подайте.

— Времени нѣтъ.

— А я судьѣ пожалуюсь.

Судья сказалъ Добрынину, что столоначальникъ правъ; потому что по закону доклады долженъ писать самъ членъ. Послѣ этого Добрынинъ ласково просилъ столоначальника избавить его отъ сочиненій и обидѣлся, что столоначальникъ не уноситъ книгу и бумаги.

— Зачѣмъ они лежатъ тутъ?

— Вы резолюціи должны написать.

— Какія?

— А что сдѣлать съ бумагой. Которую нужно пріобщить къ дѣлу, такъ вы пишите: «пріобщить къ дѣлу». Или: «строго подтвердить, или увѣдомить!..» Однимъ словомъ, что слѣдуетъ дѣлать по такому-то дѣлу, по какой-нибудь бумагѣ.

Засѣдатель, не понимая сущности дѣла, противъ однихъ бумагъ писалъ въ журналѣ: пріобщить къ дѣлу; противъ другихъ: строго подтвердить и по справкѣ увѣдомить. Столоначальникъ показалъ всѣмъ служащимъ книгу, и служащіе прозвали его пробкой, а дѣла по его части началъ читать и поправлять секретарь.

Были у насъ еще и другіе засѣдатели, которые едва умѣли читать и подписывать свою фамилію; бывали и такіе, которые по безграмотству прикладывали свои печати. Они были въ земскомъ судѣ въ то время, когда они нужны были для подписыванія бумагъ, когда не доставало полнаго числа членовъ или въ земскомъ, или въ уѣздномъ судахъ. Больше они не нужны были ни на какія потребности, и хотя они носили форму, но служащіе земскаго суда часто посылали ихъ за водкой и колотили пьяныхъ. Эти засѣдатели—люди изъ крестьянъ и выбираются въ засѣдатели сельскимъ обществомъ. Въ селахъ они дѣйствительно полезнѣе всякихъ ученыхъ засѣдателей, потому что при словесномъ разбирательствѣ они обсудятъ дѣло вѣрнѣе всякаго судейскаго засѣдателя, не знавши грамоты. Но въ суды ихъ приглашаютъ не для словесныхъ разбирательствъ, а для подписыванія бумагъ, въ которыхъ они ничего не смыслятъ, и которыя во многихъ случаяхъ рѣшаютъ судьбу человѣка. Такой засѣдатель знаетъ, что онъ подписываетъ въ судахъ бумаги, а судъ онъ понимаетъ такъ, что тамъ рѣшаются дѣла такія, какія рѣдки, или вовсе не бываютъ на словесномъ разбирательствѣ. Онъ боится подписывать, опасаясь за отвѣтственность, чувствуетъ, что это дѣло не его, но его силой заставляютъ; даютъ жалованье, а отказаться онъ не можетъ, потому что таковъ существующій законъ и таковы понятія дѣйствительныхъ членовъ суда, которые на свою должность смотрятъ, какъ на препровожденіе времени и на поживу.

Нужно напримѣръ одного изъ засѣдателей, и

идетъ изъ уѣзднаго суда въ земскій писецъ. Тамъ спрашиваетъ онъ сторожа:

— Гдѣ засѣдатель?

— Сельскій?

— Ну да!

— На рынокъ ушелъ.

— Отыщи его пожалуйста.

Сторожъ отыщетъ сельскаго засѣдателя гдѣ-нибудь въ кабакѣ и приведетъ въ уѣздный судъ.

— Эй ты, засѣдатель! Поди подписывай, справь службу.

— Не могу, братцы, хмѣленъ больно.

— Ну-ну!

И его за волосы притащатъ въ присутствіе уѣзднаго суда, а дорогой надаютъ подзатыльниковъ, изѣдваясь надъ его мужичествомъ.

— Пиши, морда!.. Пиши свою тамгу!—И засѣдателя щелкаютъ по лбу.

— Што писать?

— У, дубина. Пиши фамилію; вотъ здѣсь... — И столоначальникъ колотитъ засѣдателя въ спину.

— А тутъ што?

— Ну, еще спрашивать вздумалъ. Какъ скажу судьѣ, онъ тѣ задастъ.

И подписываетъ засѣдатель бумаги, или прикладываетъ къ нимъ печать... Если же онъ слишкомъ пьянъ, то у него берутъ его печать и безъ его вѣдома прикладываютъ ее. Если трезвый и толковый засѣдатель захочетъ читать бумаги, ему не даютъ читать, говоря: не твое дѣло; коли старшіе подписали, подписывай и ты.

— А если я подъ судъ попаду?

— Эка важность!..

И подписываетъ засѣдатель, самъ не зная, что заключается въ бумагѣ...

Не лучше этихъ засѣдателей были также бургомистръ и ратманы.

Бургомистръ и ратманы вообще выбирались изъ богатыхъ купцовъ, и эти господа, попавши какимъ-нибудь образомъ на такія почетныя должности, старались долго удержаться на нихъ. Они шли на нихъ ради формы и почета и имѣли большое вліяніе на податное сословіе города. Они рѣдко занимались дѣлами даже по магистрату, предоставляя всякія разбирательства и рѣшенія магистратскому секретарю, который могъ сдѣлать съ своими начальниками все, что хотѣлъ, и получалъ за свои труды отъ нихъ большое жалованье. Купецъ занятъ весь день коммерческими дѣлами и всякому говорилъ, что онъ не знаетъ, зачѣмъ это его выбрали еще на должность въ магистратъ, какъ будто не знаютъ, что у него безъ магистрата много дѣлъ. «Ужъ этотъ магистратъ... Я бы съ радостью уступилъ свое мѣсто другому...»— говорилъ обыкновенно этотъ должностной человѣкъ и бранилъ судью и прочихъ за то, что они не даютъ ему покою съ своими бумажонками, до которыхъ ему, коммерческому человѣку, нѣтъ дѣла. Но посторонніе знали, что этотъ купецъ лицемѣритъ. Всякій видѣлъ, что бургомистръ и ратманы загибали голову передъ своими товарищами, говорили свысока, жили дружно съ тѣми, отъ кого зависѣли выборы и утвержденіе ихъ въ должностяхъ, и очень любили свою форму. Въ магистратъ они ходили рѣдко, а въ уѣздный судъ ихъ едва могли призвать, потому что они отговаривались недосугомъ. Такъ какъ нѣкоторыя дѣла не терпятъ отлагательствъ, то секретарь посылалъ имъ докладъ и разныя бумаги на домъ. Если есть у купца охота читать, онъ станетъ читать дѣло, но онъ напередъ знаетъ, что въ этомъ дѣлѣ онъ ничего не пойметъ, и если секретарь что говоритъ, стало быть, это такъ и должно, на то онъ и секретарь, на то и выписанъ изъ губернскаго города. Купецъ даже обидится, если секретарь попроситъ его прочитать дѣло.

— Поди-ка, мнѣ есть время читать тутъ всякую дрянь... Стану я заниматься!.. У меня и безъ эвтихъ дѣловъ своего дѣла много, поважнѣе этого... Ты, значитъ, секретарь и долженъ все знать, за то ты и деньги получаешь.

Поэтому бургомистры и ратманы только носили званіе, одѣвались въ форму, ѣздили въ магистратъ для приличія и занимались только подписываньемъ бумагъ. Когда назначалось въ уѣздномъ судѣ общее присутствіе уѣзднаго суда съ магистратомъ, то магистратскихъ членовъ приглашали въ судъ. Въ это присутствіе являлся обыкновенно одинъ ратманъ и бургомистръ, а другой ратманъ подписывалъ журналъ или протоколъ на дому. Придутъ купцы въ длинныхъ мундирахъ, сядутъ на назначенныя мѣста и начнется разговоръ о торговлѣ или о городскихъ новостяхъ. Станетъ секретарь читать докладъ, купцы слушаютъ и хлопаютъ глазами.

— А ну, какъ по-вашему?—спроситъ судья.

— Что?

— А рѣшеніе?

— Да, ничего, ровно ладно. Мы вѣдь эвто дѣло не знаемъ... Ужъ вы и рѣшайте.

Случалось, что они и спорили, но едва ли это дѣло было не по нимъ, потому что, во-первыхъ, они не знали сущности дѣла, а во-вторыхъ, если и знали, то соблюдали свой интересъ; въ этомъ случаѣ они горячо заступались за своего брата, ругая судью и всѣхъ судейскихъ членовъ, на что судья имъ замѣчалъ о приличіяхъ и намекалъ на ихъ должности. Купцы утихали, молчали и стояли на своемъ, что знать не хотятъ судъ, что они выше суда и никакихъ дѣловъ послѣ этого не хотятъ имѣть съ судомъ. Ихъ просили написать свое мнѣніе тутъ же, но они уѣзжали домой, а потомъ просили секретарей сочинить протестъ. А такъ какъ по дѣламъ ихъ всегда просили и они ненавидѣли вообще приказныхъ, то часто случалось, что они не соглашались съ мнѣніемъ суда, а потомъ когда судья пугалъ ихъ опозовкой, они дарили его.

Все-таки купцы были очень осторожны: они никогда не подписывались раньше подписи судейскихъ членовъ. Они говорили, что «они отъ короны служатъ, они и должны за все отвѣчать. Подпиши они, и мы подпишемъ. А то кто ихъ знаетъ, что̀ они тамъ наплели! Ужъ если подъ судъ идти, такъ всѣмъ». Купцы конечно не боялись идти подъ судъ, потому что они были богатые, и они всегда радовались, если чиновниковъ отдавали подъ судъ.

Итакъ, значитъ, секретарь—главное лицо въ судѣ. Вся вина обыкновенно падаетъ на него: отдадутъ

членовъ подъ судъ,—отдадутъ и его, да еще члены обругаютъ его, сдѣлаютъ имъ выговоръ,—сдѣлаютъ и секретарю выговоръ, да еще члены обругаютъ его, что «это мы по вашей милости влопались». Секретарь долженъ прочитать каждое дѣло, прочитать каждый докладъ и каждую бумагу и знать наизусть все, что есть въ судѣ: знать все содержаніе всѣхъ дѣлъ и всѣ судейскіе порядки. Понятно, каковъ долженъ быть секретарь?.. Нашъ секретарь прошелъ огонь и воду: онъ служилъ сначала въ канцеляріи губернатора, потомъ въ губернскомъ правленіи, оттуда его за пьянство сослали въ какой-то судъ, онъ опять поѣхалъ въ губернское правленіе, оттуда въ нашъ судъ. Въ этомъ судѣ онъ служилъ столоначальникомъ во всѣхъ столахъ, нѣсколько разъ былъ смѣняемъ съ должностей за пьянство, и только послѣ женитьбы на экономкѣ богатой купчихи попалъ въ секретари. Ему очень трудно было слѣдить за всѣми порядками въ судѣ; у него очень много было работы, а такъ какъ въ нашемъ судѣ было очень много всякихъ дѣлъ, то онъ, запутавшись въ нихъ, заставлялъ столоначальниковъ сочинять рѣшенія, доклады и занимался только чтеніемъ дѣлъ, поправками докладовъ и подписаніемъ бумагъ. За то, если ему случалось сочинять, то всѣ его сочиненія утверждались безъ всякихъ помарокъ. Судья не даромъ называлъ его своею *правою рукою*, а секретарь называлъ себя *хозяиномъ суда*.

Всѣхъ служащихъ въ судѣ было пятнадцать человѣкъ. Изъ нихъ штатныхъ было девять человѣкъ, въ томъ числѣ столоначальникъ съ надсмотрщикомъ, а остальные служащіе—по найму. Изъ дворянъ были только одинъ судья, а изъ канцелярской братіи только два чиновника. Каждому изъ канцелярскихъ были распредѣлены занятія: одни сочиняли рѣшенія и больше ничѣмъ не занимались, другіе занимались докладами, третьи—журналами, четвертые—протоколами; переписки вообще было немного. Здѣсь два разряда работы: одна машинная, другая умственная. Къ машинной причисляются переписка бумагъ, записка ихъ въ книги и написаніе журналовъ. Умственная работа—это было сочиненіе бумагъ и все то, что требовало соображенія. Сидитъ напримѣръ столоначальникъ или писецъ, сочиняетъ отношеніе, и долго-долго онъ мучится: ужъ, кажется, привыкъ къ сочиненіямъ отношеній, но все какъ-то ему хочется сочинить лучше для того, чтобы сбыть бумагу поскорѣе или чтобы она понравилась члену. Впрочемъ людямъ привычнымъ къ канцелярскому строченію подобная работа ничего не значила: они въ одинъ присѣстъ написывали по рѣшенію и были довольны тѣмъ, что отдали его въ присутствіе, а тамъ цензируй кто хочешь, потому что, какъ ни сочиняй, какъ ни старайся отличиться,—а все безъ помарокъ не обойдется.

Бо́льшая половина служащихъ въ судѣ были дѣти бѣдныхъ канцеляристовъ и чиновниковъ. Родители ихъ хотя и тяготились своей службой, обижались на начальство, но гражданскую службу считали самою лучшею изъ всѣхъ службъ; они знали, что они неспособны къ другому труду, а трудъ переписывать бумаги считали самымъ легкимъ, самымъ приличнымъ и благороднымъ. Быть чиновникомъ для нихъ много значило, потому что чиновника уважаютъ, чиновнику почетъ, чиновникъ имѣетъ свои права и принадлежитъ къ личному дворянству,—стало быть, разница между мужикомъ безграмотнымъ и чиновникомъ большая. Они знали, что они съ-издревле составляютъ особый классъ людей, который не платитъ податей и не несетъ никакихъ повинностей, а все назначеніе ихъ жизни заключается въ томъ, чтобы служить, какъ и отцы ихъ служили.

Сынъ канцеляриста или чиновника, кончивши курсъ въ уѣздномъ училищѣ или вовсе нигдѣ не кончивши курса, по примѣру своего родителя или родственника, поступаетъ очень рано на службу въ присутственное мѣсто. Онъ съ ранняго возраста жилъ въ кругу приказныхъ этого же сорта и постоянно гордился званіемъ своего отца, потому что ему съ дѣтства твердили: чиновникъ—дворянинъ, что его ростятъ для того только, чтобы сдѣлать изъ него чиновника. Выучившись мало-мальски писать, онъ поступаетъ на службу сначала для того, чтобы набить руку, и цѣлые года занимается одною только перепискою. Черезъ два мѣсяца ему даютъ жалованье, и въ это время онъ, постоянно находясь въ обществѣ служащихъ, понемногу усвоиваетъ себѣ ихъ пріемы и манеры. До этого времени онъ развивался въ своемъ домѣ и въ кругу товарищей и конечно развился плохо; теперь онъ развивается подъ вліяніемъ приказной братіи. Отъ нихъ онъ ничего не можетъ услышать хорошаго или новаго; ума его они никакъ не разовьютъ обыкновенными и пустыми разговорами. Ему даютъ жалованья три или шесть рублей; онъ старается заниматься прилежнѣе, усидчивѣе для того, чтобы ему прибавили жалованья. Онъ пишетъ цѣлый день строчку за строчкой, выводя какъ можно красивѣе буквы, и все его вниманіе сосредоточено въ этихъ буквахъ, да въ слухѣ, который наполняется словами служащихъ. Онъ не видитъ никакой дѣльной мысли въ работѣ, послѣ нея онъ чувствуетъ усталость, ѣстъ, мало говоритъ и все свободное время проводитъ или во снѣ, или въ невинныхъ забавахъ, какъ напр. карточной игрѣ на *шереметьевъ* счетъ и т. п. Чѣмъ больше и больше онъ переписываетъ, тѣмъ больше у него отпадаетъ охота къ мышленію; онъ уже переписываетъ безсознательно, дѣлаетъ ошибки, скоблитъ бумагу—и еще больше тупѣетъ. Въ это время онъ радъ, если ему придется быть въ кругу своихъ товарищей для того, чтобы отвести душу, т. е. выпить водки. Это желаніе до того усиливается, что онъ уже чувствуетъ потребность пить водку, и подъ конецъ становится пьяницей, мучителемъ своей семьи, мужской полъ которой непремѣнно мѣтитъ въ чиновники.

Такое жалованье, какъ три или шесть рублей, очень недостаточно для человѣка, которому нужно платить за квартиру, ѣсть и одѣваться, а достать больше негдѣ, потому что ему частной работой заниматься некогда. Вотъ онъ и выискиваетъ случай къ пріобрѣтенію денегъ. Онъ видитъ, что старые служащіе пишутъ прошенія, копіи, разныя бумаги постороннимъ въ судѣ, и получаютъ за это деньги; ему становится завидно, и онъ всячески старается поддѣлаться и уго-

дить старымъ служащимъ и столоначальнику. Наконецъ представляется ему случай написать прошеніе, но онъ не знаетъ, какъ написать его, точно такъ же, какъ не умѣлъ бы самъ сочинить себѣ прошеніе объ опредѣленіи его на службу. Онъ крадетъ у товарищей черновыя по этому предмету, списываетъ эти черновыя, а съ нихъ уже сочиняетъ прошенія и другія бумаги. Написавши сто подобныхъ бумагъ, онъ уже механически запоминаетъ форму ихъ изложенія и продолжаетъ секретно или явно сочинять по старой формѣ—получаетъ за это деньги, хотя и небольшія, все же могущія обезпечить его на мѣсяцъ. Это называется доходомъ, а какъ доходовъ этихъ для него все-таки мало, то у него является желаніе еще больше нажить ихъ, и онъ пускается на хитрости, на то, что называется въ народѣ *живодерствомъ*. Здѣсь развитіе его ума останавливается на томъ, какъ бы кого надуть ловчѣе.

Если служащій—человѣкъ не глупый и поступилъ въ судъ для того, чтобы выучиться дѣлопроизводству, то и тутъ его развитіе останавливается только на канцелярской формѣ изложенія. Правда, онъ умѣетъ хорошо и скоро сочинять по-канцелярски, но въ обществѣ другихъ людей онъ кажется нисколько не развитымъ. Онъ только и знаетъ свой судъ, свое присутственное мѣсто, свои занятія, свои выгоды, а объ остальномъ не заботится, да ему и некогда думать. Теперь вся его цѣль жизни состоитъ въ томъ, чтобы ему жилось хорошо, копились деньги, да чтобы не уйти подъ судъ и благополучно дослужить до пенсіи, а если есть дѣти, то опредѣлить и ихъ на службу и быть на старости лѣтъ ихъ нахлѣбникомъ.

Таковы были служащіе, и вліяніе такихъ людей только мѣшало моему развитію. Старшіе канцеляристы наживали деньги безсовѣстнымъ манеромъ, ни за что, пьянствовали, дрались; молодые люди брали у нихъ уроки и вели развратную жизнь. Объ умственномъ развитіи никто не заботился и никто даже не интересовался получаемыми въ судѣ «губернскими вѣдомостями». Правда, были изъ нихъ исключенія, но тѣ не долго служили въ судѣ; служили же въ судѣ безвыходно тѣ, которые нигдѣ не могли найти себѣ службы лучше суда.

Наши столоначальники были люди давнослужащіе и дѣло свое знали хорошо. Всѣ они, хотя и были подъ судомъ, но держались своихъ мѣстъ очень долго. Не будь этихъ столоначальниковъ, судъ бы плохо исполнялъ свои обязанности. Это знали члены и поэтому снисходили ко всѣмъ ихъ слабостямъ. Вся забота столоначальниковъ состояла въ томъ, чтобы какъ можно скорѣе сбыть съ рукъ дѣла. А дѣла сбывались съ рукъ въ то время у насъ очень просто.

Столоначальникъ уголовнаго стола самъ рѣшенія не писалъ, потому что у него и безъ этого было много дѣлъ, а для рѣшенія дѣла существовали въ судѣ два вольнонаемныхъ писца, которые хорошо знали законы. Эти господа не обучались въ училищахъ, а пріобрѣли знаніе судопроизводства въ судѣ же и въ палатѣ; по ихъ понятіямъ выходило такъ: что уголовное дѣло значитъ то, что въ немъ есть преступники и ихъ нужно наказать; разбирать, правъ или виноватъ подсудимый, было не ихъ дѣло, да имъ и не время было, потому что ихъ торопили. Къ этому еще надо прибавить и то, что члены часто имъ приказывали, что̀ сдѣлать по такому-то дѣлу.

— Ты по такому-то дѣлу пишешь рѣшеніе?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ напиши, чтобъ его освободить. Я бы самъ написалъ рѣшеніе, да некогда.

И пишетъ такъ составитель рѣшеній, какъ ему приказываютъ и какъ онъ найдетъ лучше по своему разсужденію. Они приговаривали почти всегда къ наказаніямъ; а одинъ изъ нихъ такой былъ охотникъ приговаривать къ наказаніямъ, что, взявши еще дѣло и не читавши, съ наслажденіемъ говорилъ вслухъ про себя:

— Я тебя, шельма. Плетищами тебя, каналью, отдую!..

Этимъ сочинителямъ, какъ видно, ничего не стоило сочинить проектъ по заведенному образцу, какъ попало. Они знали, что они служатъ по вольной платѣ, имъ довѣряютъ сочинять рѣшенія потому вѣроятно, что во всемъ судѣ не нашлось кромѣ ихъ такого умника. Поэтому они не обижались тѣмъ, если членамъ не нравилось какое-нибудь рѣшеніе.

— Вы не такъ написали.

— А какъ? Не то нужно?

— Неловко какъ-то... Припомните, по какому дѣлу намъ выговоръ дали? Вы бы съ тѣмъ дѣломъ сообразили...

— Такъ вы поправьте.

— Ужъ поправьте, пожалуйста, вы.

Сочинитель держитъ дѣло недѣлю, мѣсяцъ; его спрашиваютъ; онъ говоритъ: дѣлъ текущихъ много,—и проектъ переправляется секретаремъ. Эти господа знали, что они ни за изложеніе, ни за приговоръ не отвѣчаютъ, и, стало быть, вся бѣда сваливается на членовъ.

Какъ члены, такъ и наши сочинители хорошо знали по опыту, что какъ судъ ни сочини рѣшеніе, его все-таки нужно послать въ палату, и палата все-таки передѣлаетъ его. Поэтому-то сочинивши рѣшеніе, какъ попало, судъ представлялъ его въ палату и тѣмъ слагалъ съ себя отвѣтственность за рѣшеніе... Лишь бы только дѣло было сбыто: меньше отвѣтственности. «А тамъ палата, какъ хочетъ, рѣшай»—говорили судейскіе члены.

Надо замѣтить, что уголовныя дѣла всегда рѣшались скорѣе гражданскихъ, если только они не возвращались обратно для переслѣдованія. Гражданскія дѣла лежали нерѣшенными цѣлые годы. Отговорки были уважительныя: по такому-то дѣлу дожидалось объясненіе, по такому-то—такое-то свѣдѣніе и т. д.

Но не одни столоначальники судейскіе занимались сочиненіями объясненій. Было еще два разряда юристовъ: отставные судейскіе чиновники, большею частію подсудимые, которые обирали и истцовъ, и отвѣтчиковъ, и за рѣшеніе дѣла не отвѣчали, сваливая вину на судъ. Ихъ уважали бѣдные люди, и слава объ нихъ шла по всему уѣзду. Впрочемъ ихъ не долюбливали члены суда, потому что они имъ иногда очень вредили. Другіе—были повѣренные. Они назначались отъ каждаго заводоуправленія, и обязанностей у нихъ было много. Они закупали для завода все необходимое,

сбывали заводское, хлопотали по заводскимъ дѣламъ, жили барами и пріобрѣтали большія деньги. Они жили въ городѣ, какъ важныя должностныя лица, имѣли свою канцелярію и жили въ ладу со всѣми должностными лицами города, которыя къ праздникамъ и по дѣламъ получали отъ заводоуправленій и отъ богатыхъ людей, черезъ повѣренныхъ, большія деньги. Заводскіе повѣренные происходили отъ заводскихъ людей. Выучившись грамотѣ, они служили въ конторѣ или у повѣреннаго, который для пріученія ихъ къ дѣлу посылалъ ихъ заниматься въ судъ. Въ судѣ рады были, что повѣренный посылаетъ для занятій мальчика, которому судъ ничего не платитъ. Мальчикъ учится производству, списываетъ секретно для своего повѣреннаго копіи съ рѣшеній и вывѣдываетъ для него все, что нужно.

Прозанимается писецъ повѣреннаго въ судѣ года три, годовъ пять, и узнаетъ, что такое судъ, какъ въ немъ рѣшаются дѣла, какъ и съ кѣмъ нужно обращаться. Онъ становится ловкимъ плутомъ и умѣетъ хорошо провести своего повѣреннаго и влѣзть въ довѣренность его. Годовъ десять ему приходится заниматься то у повѣреннаго, то въ судѣ, то въ заводской конторѣ и онъ усвоиваетъ себѣ очень много. Его сдѣлаютъ въ заводской конторѣ столоначальникомъ, и онъ, умѣя поддѣлаться къ повѣренному, женившись на его сестрѣ или дочери, или дочери заводскаго приказчика, имѣетъ уже разныя порученія отъ управляющаго заводомъ. Порученія эти бываютъ больше по хозяйственной части. По смерти повѣреннаго или по наговору этого пройдохи, его назначаютъ въ городъ повѣреннымъ. Въ городѣ онъ живетъ въ господскомъ домѣ, занимая цѣлый этажъ. Ему довѣряются всѣ хлопоты по заводскимъ дѣламъ, онъ закупаетъ, отправляетъ, продаетъ вещи, расчитываетъ людей и замѣняетъ собой управляющаго. Его боятся свои крѣпостные люди, отъ него получаютъ должностныя лица подарки отъ заводоуправленія за разныя дѣла; онъ, обманывая управляющаго, наживаетъ большія деньги, и такъ какъ имѣетъ дѣла со всѣми чинами, то дѣлаетъ имъ вечера и играетъ съ ними въ карты. Но главная суть его дѣятельности состоитъ въ томъ, чтобы хлопотать по дѣламъ заводоуправленія, находящимся въ судѣ, палатѣ, горномъ правленіи и даже въ сенатѣ. Дѣлъ такихъ не мало. Напр. владѣлецъ отнимаетъ у другого владѣльца крестьянъ землю, заводо-управленіе взыскиваетъ съ своего крѣпостного человѣка что-нибудь, заводоуправленіе ищетъ съ крѣпостного посторонняго деньги, владѣльцы впадаютъ въ долги и пр... Кромѣ этихъ дѣлъ повѣренный берется хлопотать въ судѣ за богатыхъ людей его завода за большія деньги. Заворуется приказчикъ очень много и сваливаетъ вину на рабочаго... Нужно ему рабочаго сослать въ Сибирь. Дѣло заводится такъ, какъ хочется приказчику, потому что исправникъ не смѣняетъ приказчика на рабочаго, повѣренный замасливаетъ судейскихъ членовъ... и дѣло рѣшается въ пользу богатыхъ людей.

Повѣренные часто просили меня списать копіи съ дѣлъ, но я не писалъ, просили рѣшить какое-нибудь дѣло—я писалъ докладъ о возвращеніи дѣла для переслѣдованія, горный членъ передѣлывалъ докладъ въ такомъ же родѣ. Повѣренные жаловались при мнѣ судьѣ, что я прошу съ нихъ деньги; судья за это оставлялъ меня дежурить въ судѣ. Разъ даже одинъ повѣренный поднялъ скандалъ на весь судъ. Приходитъ ко мнѣ и спрашиваетъ:

— Ну что?

— Что угодно?

— А копія?

— Какая?

— Какъ какая?.. Я вамъ за такую-то копію пять рублей заплатилъ.

Я озлился, покраснѣлъ, хотѣлъ обругать его, задрожалъ. Собралось много служащихъ.

— Что, стыдно?

— Врете вы! Никакихъ я денегъ отъ васъ не получалъ, да и не возьму, потому...

— Молчи, скверный мальчишка! Едва поступилъ, да и взятки беретъ.

Служащіе захохотали. Я хотѣлъ бросить въ повѣреннаго книгой, но не могъ почему-то сдѣлать этого.

— Безстыдникъ!

— Пошелъ вонъ, дрянь ты эдакая!—сказалъ я дикимъ голосомъ.

Меня позвали къ судьѣ.

— Я васъ подъ судъ отдамъ!—закричалъ онъ.

Я молчалъ и ничего не могъ сказать въ это время, потому что я золъ былъ такъ, какъ никогда.

— Я васъ выгоню!

— Онъ вретъ, ваше высокоблагородіе... Я не такой, какъ всѣ служащіе. .

— Молчать!—зашипѣлъ судья.

За меня заступился горный членъ.

— Зачѣмъ же вы хотите губить молодого человѣка? Вѣдь я больше васъ знаю его.

— Ничего вы не знаете.

Судья замолчалъ, сурово взглянулъ на меня и сталъ подписывать бумаги. Я стоялъ. Горный членъ махнулъ мнѣ рукой, я взглянулъ на судью.—Пошелъ!—сказалъ судья.—Я ушелъ изъ присутствія, меня ошикали служащіе и прозвали взяточникомъ. Съ этихъ поръ мнѣ убавляли каждый мѣсяцъ жалованье по полтинѣ, и служащіе корили меня тѣмъ, что я получаю большіе доходы. Я жаловался дядѣ; тотъ ругался: ругалъ судью, весь судъ, ругалъ меня, что я непочтителенъ къ старшимъ.

— Какъ же я стану говорить съ ними, коли они подлецы?—говорилъ я ему, а злился и думалъ сказать совсѣмъ не то.

— Хорошо, что я тебя кормлю. А если бы меня не было?..

— Вы сами велѣли служить честно, не связываться съ служащими. Да я и самъ знаю...

— Все-таки нужно обходительнѣе быть съ ними. Да будь оно проклято и житье-то съ ворами!

Дядя досадовалъ, что онъ опредѣлилъ меня въ судъ. Большое ему спасибо за то, что онъ не велѣлъ мнѣ брать доходы, спасибо за то, что онъ остерегалъ меня: «смотри, Петенька, будь остороженъ. Попадешь подъ судъ—съѣдятъ тебя. Подлый это народъ!».

Но помочь мнѣ дядя ничѣмъ не могъ. Онъ только злился, проклиналъ все и всѣхъ, но я замѣчалъ, что онъ начиналъ любить меня. А это я слышалъ изъ его разговоровъ съ теткой.

— Что я буду съ Петенькой дѣлать? Парень просто бѣда... Онъ меня съ ума сводитъ. Въ кого онъ уродился? Мать дура, отецъ пьяница...

— Въ тебя.

— Не знаю. Надо бы его перевести отсюда.

— Женить его надо.

— Лучше-то не выдумала! На Ленкѣ женить его я не хочу, потому что вѣтреная... А надо его пристроить...

— Подумай...

Дядя писалъ своимъ знакомымъ въ губернскій городъ, чтобы меня перевели въ губернское правленіе, но тѣ ничего ему не отвѣчали. Дядя злился и не зналъ, что дѣлать. «Терпи—говорилъ онъ мнѣ: вѣдь я ничего, терпѣлъ тридцать лѣтъ!».

«Вольно же было тебѣ терпѣть», думалъ я. И думалъ я о томъ, какъ бы мнѣ устроить свою жизнь: служить здѣсь не хочется, не могу я здѣсь служить. Простору хочется, дядя и тетка надоѣли мнѣ. Вѣдь я служащій, могу и безъ нихъ служить и жить самъ собой. Не все же эти поганые три рубля будутъ давать мнѣ. Ну, коли не примутъ въ присутственныя мѣста, въ приказчики къ купцамъ пойду. День ото дня меня манила въ губернскій еще и другая цѣль, которая мучила меня каждый вечеръ и каждую ночь. Я тогда любилъ и хотѣлъ жениться...

Меня занималъ въ это время вопросъ, что за штука такая любовь, о которой такъ много пишется въ книгахъ?.. Но долго я не могъ разъяснить себѣ этой штуки.

Женатые почтальоны, сортировщики, служащіе въ судѣ били своихъ женъ, когда захочется, и били уже не такъ, какъ мы, бывши ребятами, дрались, — тогда онѣ были дѣтьми, теперь онѣ хозяйки, каждой хочется похвастаться своей жизнью, показать себя— на, молъ, чуча, гляди, какъ я живу! А ты что? ты бездомница... Вышла замужъ на посрамленье людямъ... Мужчинамъ надоѣло любезничать, надоѣло потому, что женѣ хочется, чтобы ей мужъ угождалъ съ утра до вечера, ни въ чемъ не прекословилъ ей,—а ее этому научила мать. Жена большею частію проводитъ время дома, и какъ бы ни тяжела была ея работа, она все-таки найдетъ себѣ утѣшеніе въ чемъ-нибудь: вотъ я это сдѣлаю, ему, дьяволу, понравится... Вотъ я ребятишкамъ пряникъ дамъ, кричать перестанутъ... Высказывается ли въ этомъ рабствѣ любовь къ мужчинѣ—понять трудно, потому что они, каждый изъ нихъ, понимаютъ любовь по-своему... Но мнѣ привелось долго жить среди разныхъ семействъ, приводилось каждый день видѣть и слышать разныя сцены, часто возмутительныя и дикія, и я въ это время плохо понималъ, что такое любовь, а въ романахъ и повѣстяхъ я видѣлъ только одни имена, жизнь же, тамъ изображавшаяся, совсѣмъ не подходила къ нашей жизни. Побои для уѣздно-городской женщины почти ничего не значатъ, въ привычку вошли, и притомъ она сама умѣетъ облаять мужа и отомстить ему; у этой женщины есть дѣти; она всю надежду полагаетъ только на мужа. Но мужъ совсѣмъ не таковъ. Онъ только въ первое время женитьбы старается угодить женѣ, старается удовлетворить всѣмъ ея капризамъ. Но угожденіе и капризы жены ему надоѣдаютъ; онъ сначала мучится самъ съ собой, ему хочется выбиться изъ такого положенія, чтобы на него никто не сѣтовалъ. Чѣмъ дольше онъ ворочаетъ мозгами, тѣмъ больше приходитъ къ тому убѣжденію, что жена попалась ему не такая, какая ему нужна, что онъ ошибся въ выборѣ жены по скорости, потому что его завлекли въ этотъ омутъ, и жена ему не пара. Начинаетъ онъ ругаться съ нею—ничего не помогаетъ; жена отругивается, въ слезы пускается. Онъ злится, она капризничаетъ, онъ терпитъ; терпитъ дома капризы жены, на службѣ его обижаютъ; дома нѣтъ покоя отъ жены и отъ ребятъ, дома заботы много, онъ становится работникомъ на свою семью, проклинаетъ свою жизнь и кается, что сглупилъ... «То ли дѣло холостая жизнь», говоритъ онъ. И онъ правъ по-своему.

Бывало такъ, что мужчина женился на работящей женщинѣ, самъ ничего не дѣлалъ, пропивалъ женины деньги, жилъ на содержаніи жены и въ то же время билъ ее. Если онъ замѣчалъ, что жена завела любовника, онъ жаловался на любовника полиціи. И я мало-по-малу приходилъ къ тому заключенію, что мужъ и жена должны быть непремѣнно пара, т. е. должны не мѣшать другъ другу и не одолжаться другъ у друга. Мнѣ хотѣлось устроить жизнь свободную, тихую, хотѣлось найти такого друга, который бы не былъ мнѣ въ тягость и которому бы я не былъ въ тягость, чтобы намъ обоимъ не обижаться другъ на друга. Но какъ устроить это? Гдѣ найти такую женщину? Въ нашемъ городѣ положительно не было такихъ въ грамотномъ классѣ,—на неграмотной я не хотѣлъ жениться, потому что безграмотную нужно учить, а я чувствовалъ себя неспособнымъ къ обученію... Больше всего я пугался дѣтей и, дойдя до этого вопроса, ругалъ самъ себя: что я за дуракъ? На кой мнѣ лѣшій жениться-то!.. Но жениться все-таки хотѣлось, хотѣлось друга имѣть такого, которому бы можно было все говорить и съ которымъ бы легче было узнавать то, чего я не зналъ въ то время. Выборъ мой остановился на одной дѣвушкѣ, Еленѣ, которая была моложе меня двумя годами и жила въ губернскомъ городѣ.

Къ намъ часто пріѣзжали изъ селъ родственники-священники съ женами и дочерьми, и мнѣ часто случалось бывать у нихъ въ гостяхъ. Мнѣ не нравилось въ ихъ дочеряхъ то, что онѣ умѣли только стряпать, вышивать и знали одно хозяйстве иное ремесло, но кромѣ книгъ духовнаго содержанія ничего не читали, и поэтому годились въ жены только забитымъ семинаристамъ; такая жена въ городѣ лѣнилась бы, спала, толстѣла и жила бы свиньей, предоставляя дѣтямъ развиваться, какъ развивается капуста. Оно и лучше. Если такая женщина будетъ заниматься образованіемъ дѣтей да будетъ говорить имъ нелѣпости, то она и изъ дѣтей сдѣлаетъ уродовъ, какъ я и зналъ нѣсколько подобныхъ примѣровъ. Поэтому, когда мнѣ приводилось бывать въ обществѣ дочерей нашихъ священниковъ, любившихъ игру въ жмурки, прятки и въ карты, я находилъ ихъ пустыми и злился надъ тѣмъ, что онѣ весь день хохочутъ и въ этомъ нахо-

дятъ большое удовольствіе. Дома я даже не вспоминалъ объ нихъ и злился, если тетка хвалила какую-нибудь дѣвицу или говорила дядѣ: вотъ бы Петеньку женить на этой. Я злился, когда тетка бранила мою знакомую Елену въ глаза и корила ее тѣмъ, что она много трескаетъ (ѣстъ).

Отецъ Елены умеръ за мѣсяцъ до ея рожденія. Мать ея, майорша, была бѣдная женщина и жила на квартирѣ у дяди, когда мнѣ было еще шесть лѣтъ. Съ теткой она скоро подружилась, и тетка очень полюбила ее за то, что она хотя и не прочь была выпить, но не была сплетница. Дѣтей своихъ, маленькую Лену и сына восьми лѣтъ, она очень била,—и трезвая, и пьяная. Когда Ленѣ былъ четвертый годъ, мать никогда не пускала ее изъ комнаты; за то, если тетка брала меня къ ней въ гости, Лена безцеремонно подходила ко мнѣ съ своей куклой. Я однако дичился ея, и если она хотѣла играть со мной, я уходилъ куда-нибудь подальше, за что мнѣ тетка давала затрещину. Тетка часто ходила къ ней въ гости и брала меня съ собой, неизвѣстно для чего. Тамъ я сидѣлъ въ углу, а Лена играла съ куклами, и если насъ заставляли играть вмѣстѣ, то мы играли какъ-то принужденно и вяло. Жизнь Елены была нерадостная: мать ея пьянствовала, часто голодала или оставляла голодную дочь, никуда не выпускала ее и, когда уходила со двора, запирала ее на замокъ. Поэтому тетка иногда, во время пьянства матери, брала Лену къ себѣ въ гости, и она жила у насъ иной разъ по цѣлой недѣлѣ. Въ это время она больше шила или вязала и играла въ карты съ теткой, которая за это ее очень любила. Мнѣ досадно было, что тетка говоритъ ласково съ Леной, а ко мнѣ обращается съ крикомъ, и я злился, замѣчая смѣхъ Лены въ то время, когда я проливалъ воду или когда меня били; мнѣ завидно было, что тетка садитъ Лену съ собой рядомъ, а меня гонитъ въ кухню; Лена пересказывала теткѣ мои пакости, и много было такихъ предметовъ, за которые я ее ненавидѣлъ до того, что не хотѣлъ говорить съ ней. Со временемъ тетка заставляла меня что-нибудь читать вслухъ, а я не хотѣлъ читать при Ленѣ. Тетка вскрикнетъ бывало:

— Тебѣ говорятъ?

— Пусть она читаетъ.

— А вотъ какъ встану — покажу тебѣ... грубіянъ ты эдакой!

А все же я читать не стану; тетка ее заставитъ читать. Случалось, Лена просила у меня книжекъ, я не давалъ.

— Гдѣ я возьму книгъ-то?

— Да въ ящикѣ.

— Ройся сама!

— У!! скажу тетенькѣ-то.

— Смѣй! Только скажи, такъ я тебѣ обрѣжу косы-то.

Но на семнадцатомъ году мнѣ было скучно безъ нея. Нѣтъ ея два дня, думаешь, скоро ли она придетъ? Сердился на то, зачѣмъ я такой злой и упрямый, а она такая ласковая. Вѣдь ее мать бьетъ, вѣдь и она живетъ не лучше моего? Буду же и я ласкаться къ ней. Но какъ только придетъ она— я и сробѣю. Часто она приходила со слезами на глазахъ и долго плакала, говоря, что ей житья нѣтъ отъ матери, что мать день ото дня хуже становится. Мнѣ жалко было ее, хотѣлось говорить съ ней, угодить ей, но ничего этого я не могъ сдѣлать. Часто въ квартирѣ оставалось только двое насъ: она въ комнатѣ что-нибудь шьетъ молча, а я въ кухнѣ сижу за столомъ. Хочется мнѣ говорить съ ней, подойду къ ней робко, въ землю смотрю, потомъ взгляну на нее съискоса, она шьетъ и на меня не глядитъ. Подойду я къ окну и думаю, что́ бы сказать такое хорошее, какъ въ книжкахъ пишутъ? Долго думаю, да такъ ничего и не скажу. Такъ и шло время безъ толку: ни я, ни она не скажемъ другъ другу любезностей. А между тѣмъ дядя съ теткой и ея мать называли меня женихомъ, а ее невѣстой. Сидимъ мы всѣ за столомъ, обѣдаемъ. Родные наши выпивши, и мы, женихъ и невѣста,—выпивши; въ большіе праздники тетка подчивала меня и ее хересомъ или другимъ какимъ-нибудь виномъ.

— Вотъ какъ Петенька выучится да поступитъ на службу, я Лену отдамъ за него замужъ,—говоритъ майорша.

— Пусть выучится. Лена дѣвушка славная, и онъ еще не стоитъ ея,—говоритъ дядя.

— Ну, полно! На службу поступитъ—человѣкъ будетъ.

Я злился за эти слова. Ленѣ какъ-будто непріятно было слушать ихъ.

— Ты, Лена, пойдешь за Петеньку?

— Не знаю.

— Кто же знаетъ? Васька скажи, пойдетъ ли Лена замужъ? — скажетъ ея мать, обращаясь къ черному коту. Лена покраснѣетъ.

— Я не хочу жениться!..—скажу я вдругъ, краснѣя отъ злости.

— Ну, я тебѣ дамъ, каналья!—закричитъ дядя.

Послѣ этихъ разговоровъ я все-таки думалъ: а хорошо бы жениться на Еленѣ; она читать, писать, шить и стряпать умѣетъ. И пріятно мнѣ было думать о ней.

Теперь же, когда я обдумалъ, какую мнѣ нужно жену, и приглядѣлся къ разнымъ семействамъ, я возымѣлъ сильное желаніе жениться на Еленѣ, думая, что я тогда буду жить своимъ хозяйствомъ. Вотъ какой я устроилъ планъ въ своей головѣ. Если мнѣ въ губернскомъ городѣ на первый разъ будутъ давать жалованья шесть рублей, я найму въ самой дальней части города комнатку съ кухней, за что я заплачу рубль, много полтора рубля. Дрова я буду ловить лѣтомъ на рѣкѣ, и ихъ хватитъ на всю зиму и на все лѣто. Мы будемъ жить только вдвоемъ. Она будетъ шить у стола, а я буду сидѣть противъ нея, буду ей читать вслухъ, и будемъ мы жить дружно, будемъ беречь деньги. Я буду служить, она будетъ шить, продавать шитье, и деньги мы будемъ дѣлить поровну. Но я останавливался на томъ: что сдѣлать съ деньгами, если у нея будетъ больше шести рублей? Если она будетъ употреблять ихъ на сласти, въ родѣ орѣховъ, будетъ стряпать лишнее и будетъ угощать меня,

откуда я возьму деньги на то, чтобы давать ей половину на удовольствіе? Я сильно мечталъ о томъ, что у меня написаны уже два сочиненія, и я ихъ пошлю въ Петербургъ, тамъ ихъ напечатаютъ въ журналѣ и дадутъ мнѣ деньги,—большія деньги.

Черезъ годъ мнѣ опротивѣло жить въ уѣздномъ городѣ. Хотя онъ и хорошъ на видъ, хотя и есть въ немъ бульваръ и разныя увеселенія, но все какъ-то натянуто, какъ-то не весело, все какъ будто пахнетъ какою-то казенщиной. Объявитъ начальство, что завтра въ праздникъ на бульварѣ будетъ музыка, объявитъ какой-нибудь пріѣзжій акробатъ, что тогда-то онъ будетъ показывать свои фокусы, будетъ ходить по канату, объявятъ, что тогда-то будетъ какой-нибудь заѣзжій нѣмецъ шаръ пускать,—ждутъ горожане съ радостью этихъ праздниковъ. Наступитъ день, сходятъ къ обѣднѣ, наѣдятся и спать хочется, и на бульваръ тянетъ, принарядятся и пойдутъ на бульваръ. И идутъ горожане на бульваръ толпами себя показать, людей поглядѣть, музыку послушать, новости узнать, подивиться чудесамъ заѣзжаго фокусника даромъ... Перехаживаютъ они съ мѣста на мѣсто, орѣхи грызутъ, пряники ѣдятъ, да кислыми щами запиваютъ. Ждутъ они долго фокусника—иной домой успѣетъ сходить выпить рюмочку-двѣ водки, — скучаютъ, ругаютъ фокусника, что онъ долго заставляетъ ждать ихъ. Каждому хочется развлечься... Вотъ въ одномъ мѣстѣ въ орлянку играютъ двое мѣщанъ, ихъ обступили любопытныхъ сто человѣкъ, тысяча глазѣетъ на музыкантовъ.

Забравшіеся сюда рано устали давно отъ безтолковой ходьбы и кучками присѣли на траву подъ деревья; въ отдаленіи сидятъ влюбленныя пары. Чѣмъ дольше тянется время, тѣмъ больше появляется въ публикѣ пьяныхъ, которые кричатъ ругаются, какъ только могутъ, и начинаютъ безобразничать на потѣху молодежи мужского пола. Вся эта пестрая, разнообразная масса народа, выфранченная по послѣдней модѣ и по состоянію, причесанная, напомаженная, волнуется, бѣснуется, кричитъ и модничаетъ, скучаетъ и не знаетъ, что ей дѣлать.— Черти!—слышится въ одномъ мѣстѣ. — Спать бы лучше, а то что? — говорятъ въ другомъ; а въ третьемъ уже спятъ пьяные люди въ халатахъ и сюртукахъ. Даже и въ аристократическомъ кружкѣ видна зѣвота; эта аристократія пришла сюда себя показать, да людей удивить своими нарядами и фразами; она задираетъ головы къ верху или сидитъ отдѣльно отъ простого народа. Одни только молодые приказные снуютъ во всѣ классы народа, нахально подмигиваютъ дѣвицамъ, толкаютъ ихъ подъ бока и приглашаютъ гулять: «позвольте, барышня, быть вашимъ кавалеромъ».—Сначала я очень былъ сердитъ на мужчинъ за то, что они нахальничаютъ, но потомъ убѣдился, что есть дѣвицы такого рода, которыя сами приглашаютъ мужчинъ. Какъ-то я сидѣлъ на скамейкѣ въ отдаленіи и наблюдалъ за народомъ. Я курилъ папироску. Вдругъ подходитъ ко мнѣ дама, лѣтъ 20, одѣтая въ сѣренькомъ бурнусѣ съ кринолиномъ; на головѣ платокъ. Она безцеремонно сѣла на скамейку рядомъ со мной. Минутъ пять она и я молчали. Мнѣ ужасно неловко было сидѣть,— я хотѣлъ уйти, но и посидѣть хотѣлось; къ тому же сосѣдка красивая; я досталъ еще папироску.

— Господинъ, извините, если я побезпокою...— начала она.

— А что?...

— Нѣтъ ли у васъ папироски?

Я досталъ другую папироску и молча подалъ ей.

— Мирси!.. адалжите закурить.

Я далъ ей свою папироску. Сосѣдка опять сказала «мирси». У меня тряслись руки, и я сердился на себя, что я ничего не умѣю сказать ей. Мы сидѣли молча.

— Вы служащій?—спросила она меня.

— Да.

— А гдѣ служите?

— Въ уѣздномъ судѣ... А вы кто?

— Я .. я замужемъ.

— Что же онъ, гуляетъ?

— Онъ измѣнилъ мнѣ: онъ гуляетъ съ дѣвкой какой-то.

— А вамъ досадно, поди?

— Ахъ, такъ досадно, что я ему, подлецу, отомстить хочу.

— А если онъ любитъ васъ?

— Охъ, нѣтъ!

— Можетъ быть, вы ему измѣнили напередъ!..

— Какой вы глупый! вамъ говорятъ, что онъ измѣнилъ мнѣ, измѣнилъ... Понимаете?

Мы опять замолчали.

— Что же вы молчите? Какой вы скучный!

Я ничего не сказалъ ей, потому что мнѣ не понравилась ея навязчивость.

— Пойдемте гулять.

— Не хочется.

— Отчего?

— Не люблю я гулять вдвоемъ.

— А если вы женитесь?

— Ну, тогда, можетъ быть, и пойду, а теперь не хочу.

— Фи, какой вы невѣжа!.. Такъ не хотите?

— Чего, въ лѣсъ, что ли, съ тобой идти? — сказалъ я, самъ не понимая, что̀ я сказалъ. Я замѣтилъ, что сосѣдка моя покраснѣла, встала и ушла прочь.

Молодые приказные разсказывали мнѣ, что есть такія женщины, которыя сами приглашаютъ мужчинъ къ себѣ въ квартиры, и что мнѣ стоило только пригласить мою сосѣдку пройтись съ ней, она завлекла бы меня непремѣнно.

Начинается представленіе; вся гуляющая масса спѣшитъ занять мѣста получше; всѣ тѣснятся къ загородкѣ, гдѣ показываютъ свои фокусы заѣзжіе акробаты; ребята и рабочіе раздвигаютъ доски и, такимъ образомъ, смотрятъ однимъ глазомъ даромъ; ихъ разгоняетъ полиція палками; они начинаютъ драку съ полиціей, и непопавшіе въ загородку зрители потѣшаются. Если фокусы представляются открыто, то изъ многихъ мѣстъ слышатся восклицанія: «экъ его, лѣшова, угораздило! Ахъ, чортъ экой! Сломать бы ему хоть ногу, псу! А штобъ ему сквозь землю провалиться!»... Но эти восклицанія произносятся съ

улыбками, въ восторгѣ отъ удовольствія и съ удивленіемъ къ ловкости и искусству фокусниковъ. По окончаніи представленія всѣ только и толкуютъ, что о фокусникахъ, и разсказываютъ домашнимъ съ разными прикрасами о видѣнномъ... Есть въ городѣ прудъ, но на немъ не плаваютъ, только въ царскіе табельные праздники начальство устраиваетъ на немъ фейерверки, и тогда берегъ посѣщаютъ горожане. Театръ посѣщаютъ мало, потому что богатые люди не очень большіе охотники до театра, бѣднымъ же людямъ ходить часто денегъ нѣтъ; за то всѣ вообще любопытные любятъ комедіи смѣшного содержанія, драмы съ убійствами, пожарами, провалами и громами, любятъ также и чорта, и бо́льшая часть публики считаетъ актеровъ за фокусниковъ и не понимаетъ ничего серьезнаго. «Ты намъ смѣшное показывай,— говоритъ публика,—чтобы весело было: а то все говоритъ что-то мудреное. Плевать намъ на то, что онъ одѣлся не по нашему. Ты русское кажи, да чтобы не скучно было. У насъ и дома скучно. Мы не даромъ деньги-то заплатили». И показывали актеры смѣшное. Аристократія ходила въ театръ также ради препровожденія времени, и хотя знала, что актеры врутъ и плохо играютъ, но поощряла актрисъ, вызывала и дарила имъ вѣнки. Другихъ развлеченій въ городѣ не было, и люди отъ скуки играли въ карты дома или у знакомыхъ на шереметевъ счетъ, и эти карты такъ вошли въ моду, что рѣдкій горожанинъ въ свободное время не устраивалъ вечеровъ съ карточной игрой!

Дядя и тетка очень скучали. Знакомыхъ у нихъ было немного, и эти знакомые, большею частью, старались поживиться отъ нихъ чѣмъ-нибудь. Ходила къ намъ одна дѣвица годовъ двадцати шести. Она жила у сестры, которая была замужемъ и имѣла шестерыхъ дѣтей. Жили они бѣдно, а этой дѣвицѣ хотѣлось хорошо поѣсть, ничего не дѣлать и выйти замужъ за чиновника. Тетка любила ее за то, что она помогала ей шить, пѣла пѣсни и что-нибудь разсказывала, дядя любилъ ее по-своему и, когда не было дома тетки, онъ начиналъ съ ней любезничать. Я не любилъ эту дѣвицу: во-первыхъ, она очень хвасталась своимъ лицомъ, хотя и не была красива; во-вторыхъ, ужасно лгала и сплетничала, и въ-третьихъ, соглашалась съ дядей, что я невѣжа. Когда она приходила къ намъ, я прятался въ свою коморку, за обѣдомъ ничего не говорилъ, дремалъ, когда играли въ карты, и въ карточной игрѣ участія не принималъ. Случалось, я оставался дома одинъ съ ней. Я сидѣлъ въ своей коморкѣ, она въ комнатѣ. Однажды она изволила встать на лѣстницу и заглянула въ мою коморку; я лежалъ.

— Вотъ вы гдѣ обитаете!—сказала она и захохотала.

— А что? Мнѣ и здѣсь хорошо.

— Отчего же вы въ комнатѣ не сидите?

— Здѣсь лучше: я здѣсь никому не мѣшаю.

— Пойдемте играть въ карты, мнѣ страхъ какъ скучно.

— Не хочется. Я книгу читаю.

— Успѣете еще начитаться.

— Право, не хочется. Да я и не люблю картъ: въ карты дураки играютъ.

— Эдакъ, по вашему выходитъ, что я дура и тетушка ваша дура?

— Надо дѣломъ какимъ-нибудь заниматься, тогда не будетъ скучно.

— Врете вы все: надо въ обществѣ бывать!..

Я ничего не сказалъ; она ушла и съ тѣхъ поръ не надоѣдала мнѣ. Ходила къ намъ еще дѣвица лѣтъ девятнадцати, звали ее Татьяной. Эта была посмазливѣе. Сестра ея почти каждый день ходила въ женскій монастырь, гдѣ она сообщала городскія новости и откуда разносила по городу разные монастырскіе секреты. Таня тоже ходила въ монастырь и съ виду казалась монахиней; она выбирала себѣ богатаго жениха, но нѣсколько жениховъ надули ее, разсчитывая сами на ея приданое, которое состояло въ одномъ домѣ. Тетка поговаривала дядѣ женить меня на этой дѣвицѣ и дядя соглашался съ нею, сообразивъ то, что съ отцомъ ея онъ въ очень короткихъ отношеніяхъ, и что, женившись на Танѣ, я получу домъ и стало быть заживу отдѣльно отъ нихъ. Это говорилось секретно, и я страшно боялся, чтобы меня не скрутили, потому что, если дядя что захочетъ, то и будетъ. Таня чаще стала ходить къ намъ, меня заставляли играть съ ней въ карты; я, какъ нарочно, говорилъ невпопадъ, грубо и больше молчалъ. Таня черезъ сестру передала теткѣ, что я какой-то необразованный и что она раньше года не дастъ согласія на бракъ со мной. Тетка каждый день стала читать мнѣ наставленія, что я говорить не умѣю, со всѣми грублю, хожу какъ-то по-бурлацки, и прозвала меня вахлакомъ.

Ходили къ дядѣ межевщикъ Коровинъ и его жена съ двумя сыновьями, служащими по горному вѣдомству. Ходили и тетка съ дядей къ нимъ. Самъ Коровинъ любилъ выпить, такъ что, если его не угоститъ кто-нибудь водкой, къ тому онъ и ходить не станетъ. Это семейство, когда бывало у насъ, играло съ нами въ карты, и мы тоже играли съ ними. Всѣ они мнѣ нравились, потому что были люди простые, не сплетничали и со мною были ласковы. Старшій сынъ ихъ обучалъ въ городѣ дѣтей, былъ образованнѣе отца и постоянно читалъ новыя книги. Съ ними я сошелся скоро и мы въ теченіе одного мѣсяца сдѣлались друзьями. Онъ въ литературѣ зналъ толкъ, и по его совѣту я сталъ читать ученыя сочиненія. Журналы онъ мнѣ давалъ всегда, и мы подолгу разсуждали о прочитанномъ. Теперь я читалъ новые журналы, читалъ хорошія сочиненія, читалъ критики и ученыя статьи. Книгъ было много, въ головѣ много было работы, но все-таки разъяснить множество вопросовъ я не могъ при всемъ моемъ стараніи, ни съ помощью книгъ, ни съ моимъ другомъ. Я писалъ въ это время много, пріятель мой хвалилъ меня и однажды отдалъ одно сочиненіе доморощенному литератору, который сочинялъ разныя драмы и комедіи, никогда не печатавшіяся. Мнѣ привелось видѣть этого литератора въ квартирѣ Коровина. Это былъ человѣкъ лѣтъ двадцати четырехъ, одѣтый франтовски, живой господинъ. Онъ очень хвалился своими способностями, ругалъ редакціи, что онѣ не хо-

тятъ печатать сочиненій такого извѣстнаго человѣка, какъ онъ, очень смѣшно копировалъ чиновниковъ и разныхъ начальниковъ, но со мной онъ обошелся очень нелюбезно.

— Вы тоже сочиняете?—спросилъ онъ меня.

— Да.

— Это хорошо. Только вы, поди, списываете.

— Почему вы такъ думаете?—спросилъ за меня мой пріятель.

— Да я гдѣ-то подобное читывалъ.

— Кто другой, можетъ быть, такъ сочиняетъ, а онъ—самъ, это я знаю,—вступился за меня мой пріятель.

— Только я вамъ скажу, ваши сочиненія никуда не годятся.

— Почему?

— Да вы сами не знаете, о чемъ пишете; одни слова да фантазія.

Мнѣ эти слова не понравились, потому что я очень много думалъ о себѣ. Учиться у него писать я не хотѣлъ, потому что онъ много хвастался собой, и мой пріятель сбивалъ его на многихъ вопросахъ. Пріятель былъ умнѣе его, но сочиненій не писалъ.

Этотъ литераторъ, какъ говорилъ мнѣ пріятель, изъ кожи лѣзъ. На службѣ онъ не жилъ въ ладу со служащими, потому что считалъ себя умнѣе ихъ и надоѣдалъ имъ своею хвастливостью. Дома онъ рѣдко читалъ книги, а больше сочинялъ и переписывалъ свои сочиненія, которыя потомъ читалъ въ кругу товарищей. Кромѣ того онъ ужасно завидовалъ всѣмъ писателямъ, помѣщавшимъ въ журналахъ свои сочиненія, и на каждаго доморощеннаго литератора смотрѣлъ со злобой, говоря, что они сочиняютъ дрянь и хвастаются. Однимъ словомъ, ему хотѣлось прослыть за генія, а такъ какъ его сочиненія нигдѣ не печатали, то онъ ругался, ругалъ почти всю литературу. За то съ какимъ трепетомъ онъ ждалъ новаго журнала и смотрѣлъ на обложку... «Не помѣстили еще!» говорилъ онъ, блѣднѣя. Товарищи подсмѣивались надъ нимъ, но онъ говорилъ, что его сочиненіе нельзя помѣстить. Вѣроятно онъ ночи не спалъ, думая: примутъ ли его сочиненіе, или нѣтъ, и если примутъ, то онъ рисовалъ себѣ картину будущаго блаженства...

Жить у дяди мнѣ надоѣло. Меня попрекали тѣмъ, что я понапрасну жгу свѣчи, мало получаю жалованья; мнѣ мѣшали разговоры, пѣсни и дядина музыка. Кромѣ этого дядя сталъ крѣпко попивать водку, ругался на весь домъ, билъ тетку, игралъ въ карты и много проигрывалъ. Тетка плакала, просиживала цѣлыя ночи, ворожила въ карты и заставляла меня читать вслухъ книги. Съ каждымъ днемъ мнѣ тяжелѣе и невыносимѣе казалась служба; судья меня не любилъ за то, что я переписываю бумаги горному члену; товарищи говорили мнѣ, что я ничего не дѣлаю и беру взятки. Захотѣлось мнѣ простору—одному захотѣлось жить, и жить въ губернскомъ городѣ. Я сталъ проситься въ губернскій городъ. Дядя и тетка долго не соглашались.

— Ну, какую тебѣ черную немочь дѣлать тамъ?

— На службу буду проситься.

— А отчего здѣсь не служить?

— Не могу...

— Мало ли что не могу!.. Вишь ты, мы тебѣ нелюбы стали! Выстегать бы тебя надо.

Я ворчу.

— Молчать!—крикнетъ дядя,—я и замолчу.

Черезъ нѣсколько времени, когда дядя былъ веселъ, я возобновилъ свою просьбу—отпустить меня въ губернскій. Онъ опять обругалъ меня. Уѣхать мнѣ туда не было никакой возможности, потому что у меня не было денегъ. — Какъ-то дядю послали исправлять должность почтмейстера въ уѣздный городъ. Я написалъ ему, что желаю съѣздить въ губернскій городъ только въ отпускъ на недѣлю. Дядя написалъ, что дѣлать нечего. Я подалъ прошеніе объ отпускѣ на двадцать дней, уговорилъ тетку, та поплакала и согласилась отпустить. Я поѣхалъ. Тетка очень плакала при прощаньи, плакалъ и я.

— Не забывай ты насъ, ради Бога!—говорила тетка.

— Не забуду,—говорилъ я, и жалко стало мнѣ тетку. Бѣдная женщина! знаю, что ты любишь меня по-своему, какъ сына. Но я не могу жить съ тобой: мнѣ свободы хочется, а ты только мѣшаешь мнѣ.

— Прощайте!—крикнулъ я ей, когда лошади рванулись, побѣжали, и сталъ я думать о новой жизни, о томъ: поумнѣю ли я?

Теперь только я чувствовалъ себя свободнымъ человѣкомъ.

Когда я былъ очень малъ, мнѣ нравилось кататься. Меня маленькаго тетка часто зимой возила въ лубочныхъ санкахъ, закинувъ на грудь, поверхъ капота, веревочку отъ козелъ санокъ. Я болталъ ногами, махалъ руками, кричалъ отъ удовольствія, что меня везутъ, дергалъ за веревочку, отъ чего тетка злилась. Когда я подросъ, мнѣ нравилось кататься въ масляницу съ катушекъ, т. е. небольшихъ горъ, сдѣланныхъ изъ снѣга и обливаемыхъ водой. Меня тогда удивляло то: отчего это до масляницы народу мало катается въ городѣ, а съ четверга масляницы весь городъ запруженъ лошадьми. Даже самый бѣдный человѣкъ, котораго никогда не увидишь на лошади, и тотъ, смотришь, — сидитъ въ саняхъ или пошевняхъ съ знакомыми, и тотъ катается. Смотришь—всѣ какіе-то веселые, одни уже очень пьяны, только руками машутъ, да головой, ничѣмъ не покрытой, клюютъ; другіе—пѣсни орутъ, третьи насвистываютъ, наигрываютъ на гармоникахъ. На насъ, маленькихъ, тогда не обращали вниманія ни наши родственники, ни важные люди, до насъ нисколько не касающіеся: насъ обыкновенно пичкали въ углы для того вѣроятно, чтобы показать людямъ, что и они птенцовъ имѣютъ. За то, если насъ дѣтей, однихъ, пускали ѣздить, мы давали себя знать: гикаемъ, насвистываемъ; если кто держитъ витень, то отъ него достается и своимъ лошадямъ, и чужимъ, и людямъ не нашего сорта; на насъ смотрѣли зѣваки и дивились нашей молодцоватости. Несмотря на наше малолѣтство, мы, дѣти бѣдныхъ людей, были сильнѣе и крѣпче баричей и при этомъ не стѣсняясь высказывали баричамъ въ глаза свое неудовольствіе, обзывая ихъ, какъ только могли выдумать. Родные наши на эти слова ничего не отвѣчали, или отворачивали головы въ

другую сторону, или ужъ очень были заняты смѣхомъ, своими разговорами; но мы отъ нечего дѣлать, старались какъ-нибудь разозлить барышень и баричей. Въ особенности меня удивляло то: отчего это наши родные не могутъ такъ выражаться вслухъ, какъ мы, дѣти? Наконецъ я понялъ, почему на насъ не обращали вниманія: потому что мы малы, насъ считали за собаченокъ, которыя только облаютъ, а вреда не сдѣлаютъ; насъ убѣждать было трудно, а вся досада вымещалась на нашихъ родителяхъ, которые были въ зависимости отъ начальства. Что прощалось намъ, то не прощалось отцамъ нашимъ. Кромѣ этого на нашу вольность не обращали еще потому вниманія, что и барскіе ребята выдѣлывали штуки почище насъ.

Но меня это на пятнадцатомъ году не занимало: одно и то же надоѣло, хотѣлось другого. Уединеніе на рѣкѣ и въ лѣсахъ сдѣлало меня задумчивымъ, злымъ; я видѣлъ какихъ-то усталыхъ, больныхъ людей, съ фальшивыми понятіями и направленіями. Читалъ я въ книгахъ, что гдѣ-то есть настоящіе люди, а гдѣ они — Богъ вѣдаетъ! Съ дѣтства мнѣ привелось видѣть нужду крестьянскую, но я не зналъ, отчего эта нужда происходитъ. Приводилось разъ верстъ семь ѣхать на баркѣ съ бурлаками; я увидалъ трудъ тяжелый, не залюбилъ тѣхъ, кто издѣвается надъ бурлаками; но я не зналъ, что это за народъ такой. Видѣлъ я, какъ они домой возвращаются—работа ихъ еще труднѣе, и опять-таки не зналъ, отчего они не ѣдутъ домой, а непремѣнно тянутъ суденки съ хлѣбомъ. Но когда мнѣ привелось проплыть съ ними триста верстъ, тогда я заглянулъ въ бурлацкое нутро и узналъ ихъ. И мало есть такихъ людей, которые бы поняли настоящую бѣдность и причины этой бѣдности... Случалось мнѣ нѣсколько разъ съ почтами ѣздить, но и тутъ, послѣ двухъ, трехъ поѣздокъ, я плохо понялъ семейную жизнь сельскихъ и деревенскихъ обывателей. Когда я пожилъ тамъ дольше, то узналъ, что изъ бѣдныхъ людей всѣ выжимаютъ соки, начиная съ писаря, священника и т. п.

Мнѣ, прожившему среди почтовой братьи десятокъ лѣтъ, можно свободно разъѣзжать даромъ даже и безъ почтмейстерскаго разрѣшенія. Почтовые такъ и дѣлали: захочется женѣ сортировщика съѣздить къ родственницѣ въ другой городъ—угостятъ почтальона, а почтальонъ посадитъ жену сортировщика на какой-нибудь улицѣ, только за угломъ конторы, или за заставой. А ребята, ученики,—тѣ въ почтовомъ же дворѣ садятся въ телѣгу или въ сани,— это дѣти смотрителя. Такъ же и я, какъ племянникъ—сынъ сортировщика, еще нигдѣ ни служившій, свободно разъѣзжалъ къ нашей роднѣ, когда одинъ съ почтальономъ, а когда и съ воспитателями. Теперь мнѣ, служащему, ѣздить съ почтами было неловко на томъ основаніи, что я былъ все-таки уже чужой человѣкъ: писецъ уѣзднаго суда. Ѣхать мнѣ до губернскаго города Орѣха на свой счетъ не было никакой возможности, потому что у меня въ карманѣ было капиталу только четыре рубля. Положимъ, я за четыре рубля могу доѣхать съ обозами, но за то я проѣду триста верстъ недѣлю, а съ почтой я пріѣду въ полторы сутки. Скверно то, если случится какое-нибудь несчастье, напр. потеряется сумка или подрѣжутъ чемоданы подъ самимъ почтальономъ.

Разъ я струсилъ таки порядкомъ. А именно, почтальонъ, съ которымъ я ѣхалъ, былъ выпивши. Почта шла легкая. Въ телѣгѣ было двѣ сумы и одна сумка пустая, посылаемая въ губернскую контору на ея распоряженіе за излишествомъ. Двѣ сумы съ корреспонденціей были запечатаны, какъ слѣдуетъ, а въ сумкѣ лежали мои вещи, и эта сумка была зашита ременными петлями. Въ этой сумкѣ была положена еще сумка. Но какъ ее клали—проглядѣлъ почтальонъ, принимавшій почту и я. Почтальонъ зналъ, что у него на рукахъ двѣ сумы и одна порожняя сумка. До первой станціи мы ѣхали весело. Почтальонъ былъ очень разговорчивъ, много говорилъ о прошломъ бурсацкомъ житьѣ, въ особенности жалѣлъ, что онъ не могъ пробыть въ семинаріи только одного, послѣдняго года,—стало быть онъ былъ въ богословіи, но исключенъ изъ семинаріи за какое-то буйство. Однимъ словомъ онъ былъ человѣкъ неглупый, но попавши въ разъѣздные почтальоны за какое-то неуваженіе къ губернскому почтмейстеру, онъ сталъ пить водку горше прежняго. Первую станцію мы проѣхали безъ всякихъ приключеній.

Пріѣзжаемъ мы на другую станцію. Смотритель встрѣтилъ его и меня любезно,—его потому, что онъ съ нимъ назадъ тому годъ служилъ почтальономъ въ губернской конторѣ, а меня потому, что дядя часто ѣздилъ къ нему разбирать жалобы, и ямщики любили дядю. Стали повѣрять почту по подорожной. Въ подорожной написано: изъ Кочана сума, С. П. Б. 1859 г. № 1021, вѣсомъ 5 пуд., изъ Тюленя по тракту одна сума московская 1860 г., № 1200, вѣсомъ 6 пуд., въ ней три порожнихъ сумки такія-то. Дальше слѣдовала отмѣтка, что сумка московская 1860 г. № 1007 и сумка московская 1853 г. № 397 препровождаются въ Орѣховъ. Въ наличности оказалась только одна сумка за № 397. Почтальонъ струсилъ, сталъ спрашивать ямщика:

— Ты сколько бралъ сумокъ?

— Три. Тебѣ больше знать-то надо, потому ты изъ города ѣхалъ.

Смотритель сталъ ругать ямщика: «какъ же ты, морда эдакая, не знаешь?»...

— Я, что ли, ѣхалъ изъ города-то! Я што взялъ, то и привезъ.

Подобныхъ штукъ со смотрителемъ никогда не случалось, и онъ, какъ ни вертѣлъ подорожную пришелъ къ тому заключенію, что или почту ограбили, или сумка дорогой потеряна. А такихъ случаевъ всѣ почтовые ужасно боятся, будь они хоть разчестные люди. Главное, чего они боятся—это слѣдствія.

— Какъ же ты, скотина ты эдакая, ничего не видѣлъ. Вѣдь сумки нѣтъ! Что ты дѣлалъ? Спалъ, шельма!—закричалъ онъ на бѣднаго ямщика.

— Спать не спалъ, да и они не спали,—отозвался ямщикъ.

Почтальонъ вступился за ямщика.

— Сумка пустая, не важность.

— Пустая! Съ котораго боку она пустая-то? Развѣ въ подорожной написано, что такая-то, за такимъ-то номеромъ—пустая. Можетъ быть тамъ деньги были!..

Отъ такого резона почтальонъ струсилъ: въ подорожной дѣйствительно не значилось, пустая ли была та сумка. Смотритель сдѣлалъ оговорку, что такой-то *переходящей* сумки не оказалось, и тотчасъ же послалъ ямщика на первую станцію. До слѣдующей станціи мы только и говорили съ почтальономъ, что о потерянной сумкѣ; почтальонъ говорилъ: «вотъ я и солдатъ!»... Я же думалъ: вотъ чортъ меня сунулъ ѣхать съ почтой, да еще непремѣнно съ этой? Ямщикъ соболѣзновалъ намъ и съ своей стороны пугалъ насъ разными разсказами о томъ, какъ и когда подрѣзываются почты, и какія бываютъ за это наказанія ямщикамъ и бѣднымъ почтальонамъ. На слѣдующей станціи по этому случаю смотритель долго не соглашался, чтобы я ѣхалъ съ почтой. Дѣло объяснилось на четвертой станціи отъ города. Въ сумкѣ у меня лежалъ мѣшечекъ съ кренделями. Дѣло было вечернее. Только-что я открылъ чемоданъ, мнѣ съ самаго начала попала въ руку сумка. Почтальонъ былъ очень радъ такой находкѣ; свѣрили мы № сумки съ подорожной,—оказалось, что сумка эта и есть. Долго мы потомъ хохотали надъ смотрителемъ и сами надъ собой, потому что больше ничего не оставалось дѣлать, а почтальонъ послѣ этого выпилъ косушку водки и спалъ хорошо отъ станціи до станціи. Другихъ происшествій съ нами уже не случалось больше.

Не знаю, какъ кому, но мнѣ было скучно ѣхать. Хотѣлъ я любоваться лѣсомъ, полями и небомъ—не стоило. Лѣсъ, поля и небо я давно зналъ, они вездѣ одинаковы, даже и въ различное время. Только здѣсь больше лѣсу, чѣмъ около городовъ и селеній, земля воздѣлывается, кажется, очень прилежно, но производство очень плохое. Спросишь ямщика: хорошъ ли урожай? «Худы!—отвѣчаетъ онъ—Богъ ихъ знаетъ. Ровно и лѣто хорошее, а все толку нѣтъ»... Много мы проѣхали селъ и деревень, вездѣ бѣдность, только, кажется, животнымъ здѣсь можно жить. Спросишь ямщика, отчего народъ бѣденъ и отчего дома у нихъ стары и строятся такъ, что въ пожаръ вся деревня можетъ выгорѣть,—одна постоянная оговорка: «што дѣлать! Божья воля!» или: «не откуда кормиться, подать надо; начальство всякое ужъ нонѣ оченно строго да туго. Въ городъ идти робить далеко, да и безъ насъ тамъ народу много»... Но главное, на что жаловались крестьяне, какъ я слышалъ ихъ разговоръ на станціяхъ: всѣ они большею частью были крѣпостные; хорошую землю отъ нихъ отняли, надѣлили ихъ землей такою, что она или камениста, или ее нужно разрабатывать пять и больше лѣтъ. «А у насъ и прежнихъ долговъ сколича, вотъ и дали землю, да на помѣщика заставляютъ робить, потому-де оброковъ много насчитали... А хоша бы имъ нужно было что»... Дѣйствительно помѣщики, забравъ старую, хорошую землю, которую прежде обработывали крестьяне, и надѣливъ ихъ сообразно своимъ выгодамъ, оставили у себя въ запасѣ еще много земли, и эта земля остается безъ всякой обработки.

Мнѣ привелось видѣть нѣсколько сценъ по новому устройству быта крестьянъ. Спрашивалъ я крестьянъ о мировыхъ посредникахъ и судебныхъ слѣдователяхъ—утѣшительнаго немного: въ судебные слѣдователи назначались различные столоначальники ради жалованья и брали вдвое противъ прежняго; судебный слѣдователь безъ станового ничего не могъ сдѣлать, становой дѣлился съ слѣдователемъ; если не просилъ съ крестьянъ слѣдователь, то крестьяне давали становому. Кромѣ этого университетскіе не знали быта крестьянъ, и мировые посредники только хвастались, что они приносятъ пользу. Съ помѣщикомъ мировой посредникъ хорошъ, въ карты играетъ, за дочками ухаживаетъ; возиться съ мужиками некогда, а такъ себѣ, поговоритъ съ крестьянами... «Ужъ красно они говорятъ, да дѣла не дѣлаютъ въ нашу пользу», говорятъ крестьяне. И дѣйствительно, говоритъ посредникъ долго, по-крестьянски старается заговорить; крестьянинъ слушаетъ, чешетъ себѣ бока да затылокъ, улыбнется широко, когда посредникъ скажетъ: *теперича*... «А прокуратъ этотъ посредникъ: мягко стелетъ, да жестко спать... хоть бы удовлетворилъ, чѣмъ языкъ чесать: коли начальство, такъ не дури, коли ты помогать нашему горю приставленъ,—не представляйся, а добро намъ дѣлай». А посредникъ разсуждаетъ о крестьянахъ такъ: «плутъ этотъ народъ! А какъ глупъ, чортъ знаетъ что! Бьешься, бьешься съ нимъ, и такъ, и эдакъ,—ничего не понимаетъ»...

Наконецъ мы подъѣхали къ заставѣ губернскаго города; ямщикъ подвязалъ колокольцы, чтобы они не брякали: не приказано—здѣсь губернское начальство.

Два года я не видѣлъ города Орѣхова и думалъ, что онъ хотя по наружности перемѣнился. Ничуть не бывало. Какъ дома стояли прежде, такъ и теперь стоятъ. Даже вонъ березка у заставы стоитъ, боятся ее срубить, еще не дошло время. Я слѣзъ у заставы, взялъ мѣшочекъ съ форменнымъ сюртукомъ и направился къ городу. Было утро. Меня обхватилъ родной вѣтеръ; опять задышалось какъ-то легче прежняго. Теперь я былъ одинъ, былъ свободный, потому что былъ уволенъ въ отпускъ. Но я чувствовалъ, что я здѣсь чужой, чужой потому, что служу въ уѣздномъ городѣ. Нѣтъ, я буду вашъ опять, думалъ я. Я буду губернскимъ служащимъ.

Стали мнѣ попадаться чиновники. Идутъ они, позѣвывая, на службу, идутъ какъ-то нехотя. На желтыхъ лицахъ ни одной улыбки не замѣтишь; но замѣтно въ нихъ только какое-то чиновническое достоинство, уваженіе къ самимъ себѣ: на фуражкѣ кокарда, поступь чиновническая, и сморкаются по-чиновнически. Смѣшно видѣть этихъ забитыхъ людей въ то время, когда они идутъ мимо начальническаго дома: видно, что имъ не хочется идти мимо оконъ: трепетъ какой-то вдругъ напалъ и зло беретъ. Одинъ своротилъ съ тротуара, пошелъ около стѣны,—хорошо, что окна высоки, можно согнуться; другой идетъ по тротуарамъ, смиренно глядитъ въ окно и держитъ правую руку на готовѣ; третій идетъ за нимъ слѣдомъ въ такомъ же настроеніи; второй прошелъ благополучно, а третьему не посчастливилось: прошелъ мимо одного окна, мимо другого, заглянулъ въ третье—и вмигъ снялъ фуражку, пошатнулся и оступился въ тротуарную дыру... Шла мимо его ка-

кая-то торговка съ молокомъ, это ее разсмѣшило: Экъ те, голубчикъ, угораздило! Поди-кось, ушибся,—не проспался, голубчикъ!». Меня зло взяло. Впечатлѣніе было нехорошее на первый разъ.

Дорогой много было передумано, какъ мнѣ жить въ Орѣховѣ. Нанять квартиру съ перваго разу мнѣ трудно было. Зналъ я, что въ Орѣховѣ живетъ мой дѣдушка, Максимъ Варламычъ Болдыревъ. Дѣдушкой онъ мнѣ приходится какъ-то съ боку: говорили, что онъ мать мою воспиталъ и выдалъ ее замужъ за моего отца. Прежде онъ служилъ столоначальникомъ въ губернскомъ правленіи, потомъ его сдѣлали становымъ приставомъ; овдовѣвши, онъ женился на кухаркѣ, за что его возненавидѣли мои родные и очень рады были, что онъ попалъ подъ судъ по какому-то дѣлу, о которомъ ходили между ними различные слухи.

Такъ какъ дѣдушка прежде очень любилъ меня, то я разсчитывалъ на хорошій пріемъ и даже на то, что онъ можетъ быть устроитъ какъ-нибудь мой переходъ изъ уѣзднаго въ губернскій городъ.

Принялъ онъ меня вѣжливо и рекомендовалъ своей женѣ такъ:

— Нукось ты, корова! кланяйся внучку Петру Иванычу... А ты, Петинька, не знаешь, поди, еще, что я женился на этой коровѣ.

Мнѣ смѣшно было на первыхъ порахъ слышать подобную рекомендацію, но я все-таки похвалилъ дѣдушку за его женитьбу. Я пришелъ къ нему какъ разъ къ чаю. Онъ и жена его очень обрадовались моему приходу; какъ водится, засыпали вопросами о моихъ воспитателяхъ, о городѣ, о службѣ, о членахъ и т. п. Дѣдушка разсказывалъ про свое житье очень много и уморительно, ругалъ начальство разными манерами, высказывалъ, что онъ честный человѣкъ, но изъ разговоровъ его я замѣтилъ, что онъ заговаривается: начнетъ о чемъ-нибудь говорить длиннымъ вступленіемъ, мѣстность объяснитъ, заговоритъ объ одномъ человѣкѣ, и говоритъ полчаса, кто онъ такой, какое у него лицо, что онъ сдѣлалъ въ жизни, и своротитъ съ одного предмета на другой, такъ что исторія выходитъ очень длинная, и кончится вѣроятно черезъ недѣлю. Жена его привыкла уже къ такимъ разговорамъ, не слушаетъ его, да ей и некогда слушать, потому что надо стряпать и убирать во дворѣ и за скотиной. Отъ дѣдушки я узналъ, что онъ подъ судомъ и для меня ничего не можетъ сдѣлать; что губернаторъ человѣкъ умный, но старыхъ людей не любитъ, не любитъ подсудимыхъ и опредѣляетъ на службу безъ разбору только мальчишекъ. Въ особенности онъ только обѣщаетъ, а слова не держитъ. Видно было, что губернаторъ ему или чѣмъ-нибудь не нравился, или чѣмъ-нибудь обидѣлъ его.

Съ замираніемъ сердца я пришелъ въ одиннадцатомъ часу въ губернаторскую пріемную съ докладной запиской и формуляромъ. Въ прихожей много толкалось просителей, большею частію крестьянъ и бѣдно одѣтыхъ женщинъ; въ пріемной стояли, какъ видно, люди чиновные и богатые. Въ этой же пріемной сидѣлъ молодой человѣкъ изъ губернаторской канцеляріи, который зналъ меня въ дѣтствѣ. Когда я вошелъ въ пріемную, онъ гордо посмотрѣлъ на меня и спросилъ: «Что надо?». Я промолчалъ. Онъ обидѣлся моимъ молчаніемъ, всталъ и подошелъ ко мнѣ.

— Что вамъ угодно?

— Я пришелъ не къ вамъ, а къ губернатору,—отвѣтилъ я рѣзко.

— Къ кому?

— Къ губернатору.

— Здѣсь нѣтъ губернатора, а есть начальникъ губерніи.

Меня зло взяло. Я думалъ, что меня пожалуй выгонятъ изъ пріемной, но за меня вступился какой-то купецъ.

— А по-вашему, начальникъ губерніи и губернаторъ не все единственно?

— Нѣтъ, не все одно.

— Ошибаетесь, любезный.

— Я не любезный, а чиновникъ...

— Оно и видно!

— Не съ вами говорятъ; васъ не спрашиваютъ.

Просители захихикали, а чиновникъ покраснѣлъ и, сказавъ мнѣ: «убирайтесь въ прихожую!» сѣлъ къ столу и сталъ читать газету. Я ушелъ въ прихожую и цѣлый часъ былъ предметомъ развлеченія для просителей. Сначала они оглядывали меня, а потомъ стали спрашивать:

— Вы вѣрно не здѣшній?

Я сказалъ.

— То-то. Здѣсь губернія выходитъ. Кто значитъ съ губернаторомъ служитъ—власть имѣетъ.

— Я не боюсь его...

— Все-таки!..

Губернатора ждали долго. Наконецъ онъ показался въ пріемной. Это былъ невысокій, худощавый человѣкъ въ военной формѣ и нисколько не отличался отъ чиновниковъ, которыхъ я видѣлъ утромъ. Онъ подходилъ къ просителямъ и говорилъ съ ними очень любезно. Чиновные просители, какъ видно, очень остались довольны имъ и выходили съ веселыми лицами. Когда онъ кончилъ съ бывшими въ пріемной, то вошелъ въ прихожую и обратился прямо ко мнѣ.

— Отчего вы не въ пріемной?

Я хотѣлъ сказать: его благородію угодно было, чтобъ я былъ здѣсь, но робко сказалъ, поглядѣвъ на крестьянъ: «мнѣ и здѣсь хорошо»...Губернаторъ сморщилъ брови и обратился къ крестьянамъ сурово:

— Вамъ что надо?

— Да насчетъ земельки все, ваше высокосіятельство...

— Опять затѣмъ же! Я вамъ сказалъ, что ничего не могу сдѣлать.

Одинъ повалился въ ноги: «Не обидь, государь!..»

— Это что такое?.. Встань, любезный...

Крестьяне не унимались. Губернаторъ закричалъ:

— Я вамъ сказалъ, что ничего не могу сдѣлать: у васъ есть мировые посредники...

Крестьяне смирились, почесали затылки и пошли вонъ. Губернаторъ подошелъ ко мнѣ.

— Вы что скажете? Кто вы такой?

— Кузьминъ.

Губернаторъ, разспросивъ, гдѣ я служу, взялъ мою докладную записку и прочиталъ мой формуляръ. Почеркъ мой ему понравился, и онъ сказалъ мнѣ:

— Хорошо, я васъ переведу въ свою канцелярію.

Я поклонился и спросилъ, когда понавѣдаться, онъ сказалъ: послѣ завтра. Я очень обрадовался и въ восторгѣ шелъ къ рѣкѣ. На берегу, противъ почтовой конторы, я замѣтилъ перемѣну: тамъ строили загородку и садили деревья, сдѣланы лавки. Я сѣлъ на лавку и сталъ смотрѣть на рѣку. Нисколько она не измѣнилась въ два года: по старому на ней плывутъ запоздалыя барки, плоты, такъ же за рѣкой видны лодки и два балагана, принадлежащіе заклятымъ рыболовамъ, только больше стоитъ баржъ и чаще прежняго приплываютъ издалека и отплываютъ за тысячу верстъ пароходы. Но все было какъ-то скучно: на дома посмотришь — все такое же старье, жизни около нихъ мало, на берегу ходятъ и сидятъ только пріѣзжіе, на самой рѣкѣ тоже мало жизни, не то, что было прежде.

Въ губернаторскую канцелярію мнѣ не привелось поступить. Губернатору сказали, что я былъ подъ судомъ, и онъ отказалъ мнѣ. Цѣлую недѣлю послѣ этого я ходилъ къ разнымъ предсѣдателямъ съ докладными записками, но они всѣ отказывали мнѣ. Дѣдушка говорилъ мнѣ, что нынѣ опредѣляютъ за деньги или по протекціи, и что мнѣ лучше уѣзжать назадъ. Къ счастію, я отыскалъ здѣсь какого-то родственника тетки, который принялъ во мнѣ большое участіе и посовѣтовалъ сходить къ губернскому казначею, но сказалъ мнѣ предварительно, что ему можно дать пять рублей.

Губернскій казначей встрѣтилъ меня грубо.

— Что тебѣ надо?

Я подалъ ему докладную записку. Онъ прочиталъ.

— Вакансій нѣтъ, убирайся! Только мѣшаете чаю напиться.

— Я вамъ заплачу...

— Ну?

— Сколько прикажете?

— Двадцать пять рублей, только позаниматься нужно съ недѣлю на испытаніи.

— Я не могу теперь дать, потому что у меня всего три рубля.

Губернскій казначей повернулся и вскричалъ:

— Гаврило, проводи вотъ этого!

Много мнѣ говорили хорошаго о казенной палатѣ и предсѣдателѣ. Мнѣ и прежде хотѣлось поступить въ эту палату, тѣмъ болѣе теперь, когда въ ней есть библіотека. Я пошелъ къ предсѣдателю. Предсѣдатель принялъ меня любезно, долго говорилъ со мной насчетъ моей службы въ судѣ и велѣлъ заниматься въ канцеляріи на испытаніи одну недѣлю.

Черезъ двѣ недѣли меня зачислили въ штатъ. Когда я написалъ объ этомъ дядѣ, онъ отвѣтилъ: «живи, какъ хочешь, а я тебѣ помогать не буду». На первый мѣсяцъ мнѣ дали шесть рублей, и я, живя у дѣдушки, не нуждался въ деньгахъ.

Для человѣка не съ моимъ характеромъ у дѣдушки хорошо бы было жить. Онъ былъ добрый, практическій, умѣлъ занять кого угодно, но черезъ часъ надоѣдалъ своими разсказами и хвастовствомъ. Считая себя за честнаго человѣка, онъ говорилъ, что становому нельзя не брать взятокъ, и даже съ торжествомъ разсказывалъ, какъ онъ однажды взялъ съ богатаго крестьянина за мертвое тѣло двѣсти рублей и раздѣлилъ ихъ съ лекаремъ. Жизнь онъ велъ животную: спалъ послѣ обѣда и ночью на мягкой перинѣ съ своей женой, ѣлъ много, парился въ банѣ всласть, особенно много пилъ водки и все остальное время проводилъ или въ ходьбѣ по комнатѣ, или игралъ въ преферансъ съ женой и со мной. Лѣтомъ и зимой онъ ходилъ дома въ мѣховомъ халатѣ, который отъ сала и грязи походилъ на крестьянскій зипунъ; за пазухой постоянно у него лежалъ платокъ и берестяная табакерка съ нюхательнымъ табакомъ. Ему было 62 года, но волосы еще не сѣдѣли, за то лицо было безобразное: широкое, морщинистое, постоянно опухшее. Женѣ его было 27 лѣтъ; она была высокая, здоровая и красивая женщина съ черными волосами и бровями. Стоило ей только толкнуть пьянаго мужа, и онъ, какъ снопъ, валился на полъ. Она двѣнадцать лѣтъ прожила у дѣдушки, сначала на посылкахъ, потомъ въ прислугахъ, и поняла его хорошо. Онъ ее полюбилъ, да и она привязалась къ нему, и они обвѣнчались. Отъ крестьянъ она отстала и уже не могла годиться въ жены крестьянину, потому что на нее много вліяла чиновническая среда, но при всемъ томъ въ ней не было и тѣни гордости; она ходила во дворъ босикомъ, сама доила корову, сама ходила на рѣку по воду и была, какъ и прежде, работницей въ домѣ, съ тѣмъ только различіемъ, что въ праздники носила шелковыя платья и шляпки, въ которыхъ она казалась очень смѣшною. Любо было смотрѣть на этихъ супруговъ, особенно утромъ. Дѣдушка вставалъ въ пять часовъ, жена часомъ позже. Встанетъ бывало дѣдушка и пойдетъ чистить во дворѣ, дровъ наколетъ, печку затопитъ, потомъ начнетъ будить жену. Жена встанетъ, умоется, помолится, корову подоитъ, дѣдушка самоваръ поставитъ. Чай пили больше молча, потому что обоимъ супругамъ не о чемъ было говорить. Хорошо, если у сосѣдей какая-нибудь новость случилась, напр. корова отелилась, сынъ родился, такая-то захворала, такой-то свою жену выгналъ. Послѣ чаю садятся они въ кухнѣ на лавку.

— Ну-ка, Болдырько, чисти картофель!—говоритъ жена мужу.

— Асинько-й?

— Чисти, говорятъ.

— Чевой-ты?

— Ну!

— Уууу!.. Экая ты коровушка, матушка... барыня, помеломъ обмазанная...

Дѣдушка начинаетъ чистить картофель, а жена его моетъ посуду или приготовляетъ мясо къ щамъ. Дѣлаютъ молча. Дѣдушкѣ сдѣлается скучно. Подойдетъ онъ къ шкафу, возьметъ шесть коп. денегъ и пойдетъ въ питейную лавочку. А если онъ пошелъ туда, то и будетъ ходить цѣлую недѣлю разъ по десяти въ день. Пьяный дѣдушка былъ несносенъ; онъ долго не могъ заснуть, ходилъ или лежалъ и постоянно разсуждалъ вслухъ. Особенно онъ надоѣдалъ мнѣ. Читаю я бывало книгу, а онъ подходитъ ко мнѣ и начинаетъ что-нибудь разсказывать, что я уже

слышалъ отъ него разъ десять. Надо слушать, а то онъ обидится, обругаетъ, что и случалось часто. Если ему не хочется говорить, онъ ругаетъ жену, какъ только можетъ, хочетъ ее ударить, она ловко отвертывается, и это его еще больше злитъ. Пьяному ему часто приходило въ голову, что онъ напрасно женился, что онъ даже вовсе не хотѣлъ жениться, но его насильно обвѣнчали священники, и разъ даже хотѣлъ прогнать жену, чего конечно никогда бы не сдѣлалъ трезвый. Впрочемъ, его и жену его всѣ сосѣди любили за то, что они давали въ долгъ деньги безъ росписокъ и процентовъ.

Мнѣ попрежнему хотѣлось жить одному. Ужъ если мнѣ надоѣло съ воспитателями, то я въ такомъ семействѣ никакъ не могъ жить, потому что здѣсь мнѣ мѣшали читать. Поэтому я ночи спалъ больше въ каретникѣ въ зимнемъ возкѣ, а послѣ обѣда тамъ же читалъ книги.

Каждую недѣлю я ходилъ къ матери Лены. Жили они въ это время очень бѣдно, занимали двѣ комнаты, за которыя платили по два рубля въ мѣсяцъ, и пробавлялись только тѣмъ, что шили халаты въ гостиный дворъ; жить бы было можно какъ-нибудь, но мать пила попрежнему водку и пропивала все, что зарабатывала. Лена была теперь красивая, высокая дѣвушка шестнадцати лѣтъ, но на сколько она развита—я не могъ знать, потому что при мнѣ она больше молчала, да и мать никуда не выходила изъ комнаты. Когда же мать выходила изъ комнаты, то я не зналъ, что сказать дочери, она краснѣла, ниже склоняла голову къ работѣ или смотрѣла въ окно, выходящее во дворъ. Придешь къ нимъ, поздороваешься, справишься о здоровьѣ, тебя спросятъ: здоровеньки ли вы? что новенькаго? Здоровъ я, — это видно сразу, иначе бы не пришелъ; но ужъ таковъ обычай у русскихъ людей, что надо справляться о здоровьѣ. Что же касается до новостей, то я ихъ почти не зналъ, потому что читалъ только журналы. Ну, и скажешь: не знаю, покраснѣешь, неловко какъ-то сдѣлается, что я новостей не знаю. Спроситъ мать еще что-нибудь, отвѣчу, что придется, а потомъ и сидишь да куришь папиросы. Всѣ молчатъ и ты молчишь, тошно становится, досадно, что я не умѣю занять ихъ, что пожалуй еще сочтутъ меня глупымъ, хочется уйти, а тянетъ къ стулу... Сядешь и опять только смотришь то на мать, то на дочь. Тошно станетъ, встанешь и берешь шапку.—Вы куда?—Домой. —Что вамъ дома дѣлать? Посидите.—Некогда, скучно. — Да посидите, Петръ Ивановичъ! — скажетъ она.—Согласишься и опять сидишь молча. Не то бывало съ другими мужчинами, которые приходили къ матери Лены. Это были все женихи. Они прямо высказали это, несмотря на то, что двое изъ нихъ служили въ одномъ мѣстѣ, жили на одной квартирѣ, а третій уже собирался жениться въ третій разъ.

Одинъ изъ нихъ былъ канцелярскій, а другой вольнонаемный писецъ, сосланный сюда за какія-то мошенничества, о которыхъ онъ разсказывалъ очень горячо. Получали они жалованья по пяти рублей и пробивались различными доходами. Я замѣтилъ въ нихъ большую испорченность: они только и говорили, что о какихъ-то женщинахъ да открытыхъ домахъ, и старались перехвастать другъ друга, кто изъ нихъ имѣлъ больше успѣха. Объ Ленѣ они разсуждали съ такими грязными намеками, что даже мнѣ обидно за нее дѣлалось.

Мнѣ захотѣлось спасти эту дѣвушку отъ соблазна и откровенно переговорить съ нею и матерью. Но какъ начать? Въ мою башку засѣла глупая мысль: ужъ не торгуетъ ли мать дочерью? Я твердо рѣшился высказать это обѣимъ.

Однажды я пришелъ къ нимъ и засталъ Лену одну. Она, кажется, была рада, что я пришелъ.

— Гдѣ мамаша?

— Ушла куда-то, скоро будетъ.

— Ничего, если она меня застанетъ?

— Полноте, Петръ Иванычъ! она васъ очень любитъ.

— Это вы что починиваете?

— Манишку Сергѣю Ильичу... А что?

— Такъ... Елена Павловна, мнѣ бы съ вами иного надо поговорить, да негдѣ.

— И мнѣ бы хотѣлось.

— Такъ давайте, мы люди давно знакомые. Скажите, пожалуйста, что это за мужчины къ вамъ ходятъ?

— Женихи! — и она разсмѣялась, но потомъ какъ будто ей досадно стало.

— Это женихи плохіе: я говорилъ съ ними.

— Я знаю. Да что дѣлать, если мамаша принимаетъ ихъ.

— Зачѣмъ она принимаетъ?

— Не знаю.

— Вѣдь она не хочетъ васъ выдать за нихъ?

— Нѣтъ. Сватался какой-то при мнѣ, да я сказала, что не хочу замужъ. Я лучше въ монастырь пойду. Надоѣло мнѣ жить-то даже, Петръ Иванычъ,—моя мать мнѣ даже опротивѣла...—проговорила она съ досадой.

Мнѣ жалко было бѣдную дѣвушку; сердце билось сильно. Я злился.

— Терпите, старайтесь какъ-нибудь все сносить,—сказалъ я съ желчью.

— Да тошно жить-то! Кромѣ того, что она заваливаетъ меня работой и ругаетъ съ утра до вечера за какое-то неумѣнье, она коритъ меня еще тѣмъ, что ко мнѣ ходятъ мужчины.

— Пусть ее коритъ. А вы сдѣлайте вотъ что: если придетъ какой-нибудь мужчина, которымъ она попрекаетъ васъ, вы скажите матери, зачѣмъ, молъ, вы принимаете его? прогоните его.

— А если онъ станетъ говорить ей что-нибудь худое про меня?

— Не посмѣетъ. А если станетъ, плюньте ему въ поганую рожу.

— Это не хорошо.

— А они хорошо дѣлаютъ?

Пришла мать на-веселѣ. Напились чаю. Я приступилъ къ дѣлу.

— Въ прошлый разъ я былъ у жениховъ вашей дочери,—сказалъ я ей, и узналъ, что это за люди.

— Что же они?

*

— Они разсуждаютъ объ Еленѣ Павловнѣ очень скверно,—и я разсказалъ ей все, что слышалъ отъ нихъ.

Мать озлилась, обругала ихъ, выхватила манишку изъ рукъ Лены и, швырнувъ ее на полъ, начала бранить Лену.

— Елена Павловна невиновата.—Больше я ничего не могъ ей сказать, потому, что она обругала бы и меня, а пожалуй и прогнала бы. Съ этихъ поръ я не видалъ въ ихней квартирѣ мужчинъ-жениховъ. Объ Ленѣ я такъ разсуждалъ: что она дѣвушка честная, но неразвитая. Ей нужно много читать, многое растолковывать. И сталъ я ходить къ нимъ рѣже, читалъ книги, но говорить съ ней мнѣ такъ откровенно, какъ въ прошлый и въ первый разъ въ жизни, больше не приходилось, потому что мать ея постоянно сидѣла съ ней, и если нужно было что-нибудь купить въ лавкѣ—посылала ее. Было разъ предложеніе пройтись съ ними по бульвару, но я отказался, потому что не имѣлъ намѣренія жениться, а въ Орѣховѣ люди были такого понятія, что если молодой человѣкъ ходитъ съ дѣвицей, то онъ или женихъ, или любовникъ, или просто словилъ гдѣ-нибудь въ темномъ углу.

А любовь, проклятая, все болѣе и болѣе усиливалась. Идти къ нимъ хотѣлось каждый день, но только-что пойдешь, дойдешь до ихъ улицы, подумаешь, что мнѣ тамъ надо? Озлишься, что она не одна, и вернешься назадъ. Но какъ ни удерживаешь себя, а черезъ мѣсяцъ опять идешь туда и опять зѣваешь, и проклинаешь себя за то, что идти бы вовсе не слѣдовало.

Въ скоромъ времени я поссорился съ дѣдомъ и нанялъ себѣ отдѣльную квартиру. Въ домѣ, въ которомъ я поселился, были двѣ комнатки съ печью и кухня, тоже съ печью и полатями. Въ первой комнатѣ помѣщался я, а въ другой жилъ какой-то бывшій дворовый человѣкъ, занимавшійся прислуживаніемъ въ трактирахъ и помогавшій половымъ сбывать воровскія вещи. Онъ жилъ съ любовницей, которую называлъ своей женой, и которая даже не имѣла паспорта. Такъ какъ въ Орѣховѣ не существовало порядка, чтобы жильцы предъявляли свои виды въ полицію, то хозяева часто не спрашивали видовъ отъ жильцовъ, одѣтыхъ прилично. Скажетъ жилецъ, что онъ отставной губернскій секретарь, хозяинъ и считаетъ его за хорошаго жильца, лишь бы онъ платилъ деньги хорошо. Уже послѣ оказывается, что жилецъ—бѣглый солдатъ. Крюковъ, квартирантъ рядомъ со мной, приходилъ домой поздно, пьяный, билъ свою жену чѣмъ попало, ругалъ хозяина и корилъ свою мать-старуху тѣмъ, что она ѣстъ его хлѣбъ. Какъ ни работала его любовница, какъ ни добывала деньги мать нищенствомъ и мытьемъ половъ, онъ всѣ деньги проигрывалъ на бильярдѣ, пропивалъ и не являлся домой по недѣлѣ. Были тутъ и другіе жильцы: жили мѣщане, семинаристы, дьячки и чиновники. Всѣ эти господа очень не нравились мнѣ, и черезъ недѣлю или мѣсяцъ я, чтобы избавиться отъ нихъ, ловко выживалъ ихъ изъ дому и впослѣдствіи завладѣлъ обѣими комнатами.

Хозяева меня любили; я привыкъ къ нимъ. Оба, мужъ и жена,—молодые, бѣдные, потому что оба лѣнились. Я удивлялся, какъ это хозяинъ можетъ сидѣть сложа руки, тѣмъ болѣе, что онъ умѣетъ писать. Сколько я ему ни совѣтовалъ заняться чѣмъ-нибудь, онъ остался при томъ убѣжденіи, что служить кому бы то ни было онъ не хочетъ, а къ работѣ непривыченъ. Получитъ онъ отъ меня деньги, пропьетъ ихъ, а потомъ бьетъ жену, которую трезвый онъ очень любилъ. Къ лѣни ихъ побуждало можетъ быть и то, что ихъ родные привозили имъ мясо, муку, масло и пр.

Въ это время я очень скучалъ. Мнѣ хотѣлось имѣть друга, но такого друга, какого нужно было мнѣ, я не могъ найти. Я разсчитывалъ, что не ошибусь, если женюсь на Ленѣ, но во-первыхъ, я все-таки не могъ узнать ее хорошенько, во-вторыхъ, мнѣ не хотѣлось жить съ ея матерью. Но какъ ни думаешь, а пойдешь къ нимъ. Подойдешь къ ихъ квартирѣ, и вдругъ чувствуешь, что сдѣлается какъ-будто стыдно, хочется уйдти назадъ, а правая рука уже дверь отпираетъ... Теперь поздно! Вонъ она сидитъ, шьетъ. Оглянулась на меня, улыбнулась...

— Здравствуйте, Елена Павловна.

— Мое почтеніе. Здоровеньки ли?

— Покорно благодарю. Мамаша дома?

— Спитъ.

— Что подѣлываете?

— Шью.

— Что новенькаго?

Все это было переспрошено уже много разъ и прежде. Послѣ этого настаетъ скука.

— Вы прочитали такую-то книжку?

— Не успѣла... А вамъ надо?

— Нѣтъ еще... Вы бы какъ-нибудь прочитали.

— Некогда.

Опять молчимъ. Я курю и смотрю на нее. Хороша ея головка: и волоса, и лобъ, и лицо хороши.

— Что подѣлываете?—спроситъ вдругъ она.

— Читаю. Я вотъ что вычиталъ,—и разсказываю, что вычиталъ. Она молчитъ и кажется, что ей это не нравится. Она любила читать и слушать только смѣшное; я же смѣшное не умѣлъ разсказывать.

— Вы поняли?

— Что?

— Что я говорилъ.

Она покраснѣетъ и скажетъ: нѣтъ; мнѣ досадно сдѣлается.

— Объ чемъ вы это говорите?—скажетъ мать, вылѣзши изъ другой комнаты, и поздоровается.

Мать была со мной очень любезна и намекала, что ей хотѣлось бы, чтобы я женился на Ленѣ. А я сильно боролся: жениться, или нѣтъ. Написалъ я дядѣ объ этомъ, тотъ отвѣтилъ, что онъ мнѣ пріищетъ богатую невѣсту, но впрочемъ не запрещалъ.

Были Ленины именины; я былъ у нея. Мать выпивши, дочь скучная. Ѣли орѣхи, играли въ карты, въ дурачки. Мать угостила меня водкой, и я, захмѣлѣвъ порядочно и набравшись храбрости, вызвалъ ее въ другую комнату и сказалъ ей о своемъ намѣреніи.

Мать обрадовалась, но сказала, что она спроситъ ея согласія и приневоливать ее не станетъ. За отвѣтомъ велѣно придти дня черезъ два. Оказалось, что я долженъ ей купить шляпку и салопъ, а у меня было денегъ только три рубля. Я вышелъ отъ нихъ точно ошеломленный.

Дорогой я опомнился, что сдѣлалъ глупость. Я даже обидѣлся на себя за то, что началъ съ матери и рѣшился не ходить къ нимъ. Съ этихъ поръ я сталъ заниматься крѣпче, и когда мнѣ хотѣлось идти къ нимъ, я уходилъ къ знакомымъ товарищамъ... Хорошо, что у меня были все новые товарищи и хорошіе знакомые. Я имъ говорилъ, что хочу жениться; они смѣялись надо мной; у нихъ я развлекался и приходилъ домой поздно, большею частью пьяный. А пилъ я не съ горя, а просто баловался, да и товарищи были такіе, что отдѣлаться отъ водки не было никакой возможности.

Черезъ мѣсяцъ я услыхалъ, что Лена выходитъ замужъ за фельдшера, человѣка, имѣющаго свой домъ. Это меня на первый разъ взбѣсило, а потомъ, какъ я одумался, мнѣ стало какъ-то легче. Въ это время я пришелъ къ тому заключенію, что Лена меня не любила, и что я бы раскаялся, если бы женился на ней.

Въ Орѣховѣ одинъ человѣкъ прозвалъ меня самолюбивымъ; дѣйствительно я о себѣ очень много мечталъ: стихи писать мнѣ ничего не значило. Я драмы каталъ съ плеча и думалъ, что я славный сочинитель. Думалъ я, что если я куда-нибудь пошлю въ редакцію свои сочиненія, то тамъ не напечатаютъ только потому, что я не чиновникъ. Хотѣлось мнѣ посовѣтоваться съ умными людьми, но къ нимъ трудно было подступиться. Нравился мнѣ одинъ столоначальникъ палаты, бывшій мой учитель, потому что онъ былъ дѣйствительно умный господинъ. Ему-то я и написалъ письмо такого рода, что я считаю его за умнаго человѣка, уважаю и потому прошу его прочесть одну мою драму. Онъ согласился. Прочитавши драму, онъ сказалъ мнѣ, что содержаніе ея хорошее, но написана она неудачно. Черезъ нѣсколько времени я написалъ письмо другому умному человѣку, Павлову, служившему въ палатѣ же, и котораго любилъ предсѣдатель. Онъ растолковалъ мнѣ, какъ писать, и принялъ во мнѣ большое участіе. По его совѣту я написалъ статью для Губернскихъ Вѣдомостей о казенно-палатской библіотекѣ. Онъ ее поправилъ. Когда я увидѣлъ ее въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, то былъ въ такомъ неописанномъ восторгѣ, въ какомъ, я думаю, не былъ и дядя, когда увидалъ свое производство въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ. Я чувствовалъ какую-то необыкновенную силу въ себѣ, какъ будто я выше и умнѣе всѣхъ казенно-палатскихъ сталъ. Служащіе меня то и дѣло поздравляли.—Показали статью предсѣдателю.

Предсѣдатель призвалъ меня къ себѣ.

— Написано хорошо. Это не вы сочиняли?

— Нѣтъ, я.

— Какъ же вы пишите, а меня не спрашиваетесь?

— А развѣ нужно?

— Конечно нужно. Впередъ будете писать,—не смѣйте безъ моего совѣта печатать.

Я обидѣлся такимъ предложеніемъ и рѣшился не исполнять его. Послѣ этого я завалилъ редактора своими статьями. Онъ не зналъ, что дѣлать съ ними, и только одну изъ нихъ напечаталъ, за которую меня приказные собирались даже поколотить. Когда я сталъ просить у редактора денегъ, онъ сказалъ: «я говорилъ вице-губернатору объ васъ, но онъ не соглашается дать».

Въ палатѣ всѣ считали меня за сочинителя, но начальство, какъ и подобаетъ быть, обращалось со мной, какъ съ писцомъ, и ухомъ не вело, что у нихъ служитъ такой герой. Одинъ секретарь только подсмѣивался на всю канцелярію: «вотъ ужъ онъ насъ отчекрыжитъ въ губернскихъ-то... Только меня пожалуйста не тронь».

Отчекрыжить мнѣ ихъ не привелось, а отдѣлалъ меня самого въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ бывшій школьный товарищъ, написавшій въ нихъ много статей и бывшій уже теперь повѣреннымъ. Онъ такъ меня отдѣлалъ, что я вмигъ слетѣлъ съ высоты своего блаженства: мнѣ совѣстно было и глаза показать на улицу.

Написалъ было я еще одну статью, да ужъ очень рѣзкую. Прихожу я къ редактору, онъ подаетъ ее мнѣ назадъ.

— Я отдавалъ ее совѣтнику губернскаго правленія. Онъ всю ее похерилъ.

Посмотрѣлъ я,—такими толстыми чертами, какъ мазилкой, исчерчено, точно онъ таракановъ билъ и размазывалъ по бумагѣ, но своего ничего не написалъ. Взялъ я назадъ ее и ужъ больше ничего не отдавалъ редактору.

Большинство служащихъ въ палатѣ при мнѣ состояло изъ отцовъ, дѣтей и родственниковъ, такъ что полъ-палаты была родня другъ другу; всѣ они жили своими домами и на судьбу не жаловались. Молодые люди женились рано и очень выгодно. Они женились и на мѣщанкахъ, но только въ такомъ случаѣ, если у невѣсты былъ домъ или если черезъ нихъ можно было получить въ палатѣ должность. Канцелярскіе чиновники хотя и казались съ виду пріятелями, но всячески старались обидѣть чѣмъ-нибудь товарища, наговорить на него начальнику или выслужиться.

Губернаторъ не любилъ молодыхъ людей, трусилъ ихъ почему-то, и даже хотѣлъ закрыть нашу библіотеку, но предсѣдатель отстоялъ ее: библіотека эта была открыта предсѣдателемъ по совѣту одного лица. Открыли ее пожертвованіями: совѣтники пожертвовали старые журналы, разрозненныя, дрянныя книжонки, да по подпискѣ собрали рублей сорокъ; дали спектакль въ пользу библіотеки и, за вычетомъ расходовъ, получили рублей тридцать. На эти деньги не могли выписать много книгъ, но все-таки нѣкоторыя періодическія изданія были выписаны. Когда разрѣшили выдавать книги постороннимъ,—денегъ собралось больше. Читающихъ съ перваго разу было очень мало, и бо́льшая половина палатскихъ служащихъ не соглашалась платить рубля за годовое чтеніе,—у нихъ уже высчитывали силой. Для палатскихъ служащихъ библіотека была мѣстомъ для куренія, и многіе поговарива-

*

ли, что не худо бы здѣсь открыть буфетъ съ водкой и закуской. Черезъ два года библіотека пришла въ такое жалкое положеніе отъ небрежности библіотекарей и ихъ помощниковъ, книгъ стало такъ мало для постороннихъ читателей, а денегъ еще меньше,—что дѣльные служащіе совѣтовали продать книги и деньги раздѣлить между собою. Для этого библіотека собирала общія собранія, но дѣло кончилось ничѣмъ. Въ это время я въ губернскомъ городѣ замѣтилъ большую перемѣну, какъ всѣ выражались. Прежде рѣдкаго жителя можно было вытащить изъ дому къ рѣкѣ, теперь каждый въ шесть часовъ вечера, два раза въ недѣлю, выползаетъ изъ своей норы и позѣвывая идетъ не торопясь на берегъ въ загонъ (загородка). Тамъ, по приказанію губернатора, два раза въ недѣлю играетъ музыка. Это устроилось благодаря сообразительности единственнаго въ этомъ городѣ военнаго генерала (губернатора). Пошелъ онъ на берегъ. Мѣстность понравилась ему. Пошелъ въ другой разъ, третій. Городъ подивился, зачѣмъ это губернаторъ на берегъ ходитъ? Пошли пять человѣкъ и испугались губернатора. Приказалъ онъ сдѣлать загородку и насадить деревьевъ. Городъ понялъ въ чемъ дѣло, и посмѣялся надъ такой штукой. Березки эти скоро обглодали козы, и народъ сталъ ходить къ рѣкѣ, не чувствуя никакого удовольствія, а наблюдая за барами, какъ тѣ ходятъ, какіе на нихъ наряды, не оступится ли кто-нибудь и т. п.; а послѣ гулянья чиновники разсказываютъ дома, какъ какой-нибудь невѣжа наступилъ на *помело* барышни и какъ та обозвала его дуракомъ. Теперь народъ собирается для музыки, большинство смотритъ на музыкантовъ, остальные ходятъ. Не знаю, какъ теперь, а при мнѣ мелкіе чиновники стѣснялись быть въ загонѣ, потому что тамъ гуляло парадное начальство. Чтобы привлечь еще больше народу, губернаторъ разъ съ ватагою *передовыхъ людей* города изволилъ спуститься пѣшкомъ съ горы, прокатиться въ лодкѣ, замочить по неловкости свои брюки и опять взбѣжать на гору. Такой штуки отъ него не ожидали,—подивились, и въ другой разъ народу собралось больше, но ужъ штуки не вышло и губернатора въ этотъ день не было. Просвѣщенные люди стали говорить, что теперь всѣ городскія сословія стали сливаться во-едино.

Я въ это время испытывалъ полное чиновническое счастье. Начальство ко мнѣ благоволило и обѣщало въ палатѣ какую-то должность. Дядя радовался, что я получаю уже двѣнадцать рублей. Въ городѣ были у меня пріятели, которыхъ я угощалъ водкой, и самъ угощался ими до положенія ризъ. Но все это—пьянство, карты, пріятели и служба—ужасно мнѣ надоѣло. Были впрочемъ и хорошіе пріятели и говорили красно, либеральничали, называли себя передовыми людьми, но при случаѣ подличали и дѣлали гадости. Станешь имъ говорить, что это нехорошо,—они говорятъ: «нельзя, съ волками жить—надо по-волчьи выть».

— Въ столицу!—думалъ я. Но какъ ѣхать? Что тамъ дѣлать?

А уѣхать мнѣ очень хотѣлось. Привычный къ холоду и къ разнымъ квартирамъ, я не вѣрилъ различнымъ разсказамъ объ ужасахъ столичной жизни. Товарищи смѣялись надо мной и называли меня помѣшаннымъ. Дядѣ я не писалъ объ этомъ. Но ѣхать не было никакой возможности, и я съ ужасомъ представлялъ себѣ свою жизнь въ провинціи и то, что будетъ со мною лѣтъ черезъ десять. Неужели я буду такой же, какъ мой дядя или какъ эти губернскіе чиновники?.. Вся цѣль ихъ жизни заключается въ томъ, чтобы дослужить до пенсіи да отдохнуть отъ тяжелой жизни. А изъ меня видно выйдетъ калѣка на всю жизнь...

Случай скоро представился, и люди прозвали его *дурацкимъ счастіемъ*...

Предсѣдатель нашъ не жилъ въ ладу съ совѣтниками палаты; онъ считалъ ихъ глупѣе себя, хотѣлъ, чтобы они уважали его и слушались. Но они только притворялись, что слушали его и уважали, а за глаза ругали и хвастались передъ бухгалтерами, контролерами и столоначальниками, что они упекутъ предсѣдателя. Остальные служащіе и даже сторожа желали, чтобы онъ провалился. Эта нелюбовь происходила отъ того, что онъ мучилъ хорошихъ переписчиковъ, ругалъ писцовъ, столоначальниковъ и сторожей, и вообще со всѣми даже съ секретаремъ обращался: «эй ты»! Но при всемъ этомъ онъ хотѣлъ сдѣлать служащимъ много полезнаго, только это полезное выходило у него въ грубой формѣ. Сидитъ онъ въ своемъ кабинетѣ и вдругъ призываетъ секретаря: «Эй ты, какъ тебя?.. Ну, напиши мнѣ проектъ... такого рода, какъ бы тебѣ сказать?... Ну, однимъ словомъ, я хочу устроить, чтобы чиновники сшили себѣ платье дешевле... Да живо... Понялъ?». Секретарь былъ у насъ смирный; предсѣдателя онъ всегда боялся; закричитъ предсѣдатель: «позвать секретаря!», онъ и бѣжитъ въ кабинетъ, а какъ предсѣдатель засыплетъ его словами, онъ и растеряется. Кромѣ этого секретарь зналъ хорошо только свою часть по канцеляріи, и всѣ проекты были для него мученьемъ. Скажетъ секретарь: «понялъ», и выйдетъ растерявшись. Сядетъ онъ на свое мѣсто и начнетъ думать. Члены пристаютъ къ нему съ разными посторонними вопросами, а онъ боится позабыть, что ему говорилъ предсѣдатель. Члены подсмѣиваются.

— Что, каково?

— Ахъ, отстаньте!..

— Что онъ опять?

— Да вотъ какую-то чуху выдумалъ: платье шить хочетъ.

Члены хохочутъ.

— Кому?

— Чортъ его знаетъ кому... Ничего не понялъ.

Пойдетъ въ канцелярію и проситъ дѣло, а какое ему нужно дѣло, самъ не знаетъ. Дашь ему какое-нибудь дѣло. Онъ подержитъ его въ рукахъ, очнется и скажетъ: «нѣтъ ли въ архивѣ вотъ какихъ подобныхъ дѣлъ?»

— Какихъ?

— Да чтобы тамъ были проекты какіе-нибудь.

Не поймутъ секретаря, смотрятъ на него, думаютъ: «чего же ему надо?». А онъ сердится.

— Скорѣе! Ахъ, право!—И уйдетъ назадъ въ

присутствіе. Пойдешь въ архивъ, спросишь архиваріуса, тотъ самъ ничего не знаетъ, такъ что если мнѣ какое нужно дѣло, онъ отпираетъ архивъ и говоритъ: «бери хоть всѣ, чортъ съ ними, а я почемъ знаю, какія такія у меня дѣла и гдѣ какое лежитъ»?... Пойдетъ секретарь самъ къ архиваріусу и вернется ни съ чѣмъ. Станетъ рыться въ законахъ и не найдетъ ничего подобнаго въ законѣ, и зазоветъ двухъ-трехъ бухгалтеровъ, начавшихъ службу съ нимъ въ палатѣ съ копіистовъ. Тѣ кое-что смыслятъ и посовѣтуютъ ему самому сочинить проектъ, да спросить какого-нибудь совѣтника, какъ лучше сочинить.

А такихъ проектовъ предсѣдатель много заказывалъ, и одни изъ нихъ или забывались предсѣдателемъ, или сочинялись съ помощью бухгалтеровъ и столоначальниковъ черезъ полгода.

Такъ и теперь предсѣдатель задумалъ два огромныхъ проекта: увеличить жалованье служащимъ палаты и ея вѣдомства и основать при палатѣ сберегательную кассу. Кромѣ этого онъ задумалъ наградить человѣкъ пятнадцать орденами и деньгами и выпросить въ палату другихъ совѣтниковъ. Два проекта были извѣстны не только въ палатѣ, но и во всей губерніи; въ палатѣ за это предсѣдателя прозвали взбалмошнымъ и самодуромъ, а въ губерніи удивлялись его уму. Остальное онъ держалъ въ секретѣ.—Когда было все готово, предсѣдатель объявилъ, что онъ ѣдетъ въ Петербургъ и желаетъ проститься со всѣми чиновниками.

Раньше этого я часто совѣтовался въ разныхъ дѣлахъ съ своимъ ближайшимъ начальникомъ, Павловымъ, котораго очень любилъ предсѣдатель. Онъ былъ человѣкъ неглупый, смыслилъ кое-что въ наукахъ, умѣлъ ловко осмѣять кого угодно въ палатѣ и заинтересовать разговоромъ кого угодно. Заѣхавши сюда изъ-за тысячи верстъ, потому что въ палатѣ служили его братья, онъ по протекціи ихъ скоро попалъ на должность помощника. Другой должности повыше ему пришлось бы долго ждать, потому что у совѣтниковъ были на примѣтѣ люди, давно служившіе въ палатѣ. Но вотъ пріѣхалъ предсѣдатель; Павлову какъ-то разъ случилось нести къ предсѣдателю бумаги. Предсѣдатель хотѣлъ его срѣзать на словахъ, но Павловъ былъ не робкій, самъ закидалъ словами предсѣдателя и сбивалъ его фактами. Съ этихъ поръ предсѣдатель такъ довѣрялся Павлову, что не могъ жить безъ него и постоянно съ нимъ совѣтовался. Павловъ меня полюбилъ за честность и еще болѣе за то, что я работалъ въ палатѣ за него, такъ какъ онъ ничего не дѣлалъ, а былъ только чѣмъ-то въ родѣ адъютанта предсѣдателя.

Въ палатѣ я работалъ много, послѣ обѣда спалъ, потомъ пилъ чай полчаса и въ это время дома занимался палатной работой. Читать приходилось только урывками. Станешь писать дневникъ—лѣнь, изъ головы ничего не лѣзетъ. Попишешь, попишешь и сходишь въ питейную лавочку, выпьешь рюмку водки. Больше всего я боялся отупѣть и сдѣлаться дуракомъ. Кромѣ этого мнѣ страшно опротивѣло губернское общество. Мнѣ хотѣлось ѣхать въ Петербургъ для того, чтобы поучиться и поумнѣть. Каждую недѣлю я видѣлъ въ городѣ пріѣзжающихъ столичныхъ жителей, и всѣ эти люди очень хвастались тѣмъ, что они знаютъ много такого, чего не знаютъ въ провинціи. Но не нравилось мнѣ одно въ этихъ людяхъ: пріѣдетъ человѣкъ изъ столицы, задаетъ всѣмъ шику, говоритъ свысока: «пожалуйста, батюшка, любезнѣйшій», и тому подобное; рисуется, особенно коверкаетъ свою походку; когда говоритъ, машетъ руками или дѣлаетъ ими тактъ къ каждому слову, и на все смотритъ съ презрѣніемъ. Всѣ эти манеры провинціалы перенимали отъ столичныхъ, и слово «батюшка» вошло въ поговорку начальниковъ, и служащіе стали коверкать походку и махать руками при разговорѣ, что выходило очень смѣшно. Провинціалы, уѣзжавшіе въ столицу по какимъ-нибудь дѣламъ, привозили домой много пыли; къ нимъ стекались братья съ товарищами, выспрашивали у нихъ столичныя новости и, по случаю пріѣзда своего товарища, устраивали для него вечеръ; мнѣ не случалось бывать на такихъ провинціальныхъ вечерахъ, и что тамъ дѣлалось,—я судить не могу. Но на гуляньяхъ эти господа старались казаться какими-то иными людьми; для насъ, молодыхъ людей, жившихъ только въ одномъ губернскомъ городѣ, они казались очень смѣшными. Мы имѣли знакомыхъ человѣка два-три студентовъ, жившихъ здѣсь исключительно уроками, и они намъ кружили головы столичною жизнью.—Тамъ настоящій западъ, тамъ дверь въ Европу, оттуда просвѣщается Россія. Тамъ только и можно жить образованному, умному человѣку; тамъ только и можно жить свободно, свободно мыслить и разсуждать, тамъ всякому провинціалу можно поумнѣть и найти настоящую дорогу.

— Но какъ жить человѣку безъ средствъ?

— О, тамъ можно найти какое-нибудь занятіе, напримѣръ уроки, службу въ частныхъ конторахъ. Бѣдному человѣку тамъ всякій помогаетъ.

Были и другіе совѣтчики, которые говорили, что бѣдный человѣкъ тамъ не пропадетъ и даже даровую пищу найдетъ, напримѣръ гдѣ-то у Демидова. Мнѣ хотѣлось ѣхать въ Петербургъ не для службы, а учиться, но у меня не было денегъ. Просить денегъ не у кого, и я думалъ, что въ такомъ большомъ городѣ не скоро найду частныя занятія; учить... но чему я, провинціалъ, буду учить столичныхъ?... Смѣшно. Все-таки я днемъ и ночью мечталъ о Петербургѣ. Во снѣ я видѣлъ себя въ какомъ-то большомъ городѣ, или собирался куда-то ѣхать. Сталъ я говорить о своемъ желаніи Павлову, тотъ смѣялся надо мной и обѣщалъ мнѣ выхлопотать въ палатѣ хорошую должность. Пошелъ я къ предсѣдателю и высказалъ свое желаніе.

— А отчего вамъ здѣсь не живется?

— Надоѣло, учиться хочется.

— Вотъ глупости. Живите-ка, батюшка, здѣсь, а нечего глупости говорить... Ну, какъ вы тамъ будете жить?

— Вѣдь живутъ же люди.

— А, вамъ совѣтникомъ хочется пріѣхать сюда! Онъ засмѣялся и послалъ меня въ палату.

На предсѣдателя нечего было надѣяться. Хотѣлъ я подать прошеніе о переводѣ въ какое-нибудь ми-

нистерство, но нашелъ это нелѣпостью. Пришлось служить въ палатѣ. И я рѣшилъ, что лишь только у меня будетъ сто рублей непремѣнно уѣду въ Петербургъ, а для этого и въ отставку выйду.

Передъ отъѣздомъ предсѣдателя чиновники собрались послѣ обѣда въ библіотеку. Собралось ихъ человѣкъ сто. Чиновники собирались только потому, что имъ приказывали собраться, и смѣшно было видѣть эту огромную толпу разноманерныхъ характеровъ въ разнокалиберныхъ костюмахъ. Всѣ они какъ будто удивлялись и радовались, что собрались сюда въ одну массу не для занятій, а для чего-то важнаго, и никто не сознавалъ здѣсь того, что и отъ него требуется частичка голоса, частичка знанія. Каждый говорилъ, что хотѣлъ: одинъ говорилъ о начальникѣ, другой смѣялся надъ товарищемъ и проч. Вонъ какой-то служащій вытаскиваетъ бумажку, на которой написано кѣмъ-то: «смири, смири, смири, Владычице», и говоритъ: «смотрите, что Крюковъ написалъ!». Его окружаютъ человѣкъ десять служащихъ и подзываютъ Крюкова, смѣются надъ нимъ, что онъ передъ началомъ занятій всегда пишетъ эти слова, чтобы не обращать вниманія на насмѣшки и больше сработать... Вонъ чиновники контрольнаго отдѣленія состязуются съ чиновниками отдѣленія казначействъ: «вы что? — А вы дрянь! Вы взяточники и совѣтникъ вашъ плутъ.— И вы хороши. Нашъ совѣтникъ золото! славный человѣкъ. — Чего вы толкуете! нашъ ревизскій умнѣе вашихъ, и мы всѣ умнѣе васъ.—Вотъ ужъ! » и т. п. Всѣ кричатъ, каждый стоитъ за свое отдѣленіе, готовъ драться и каждый хочетъ выказать свои способности, свой умъ, но не можетъ,—его перекрикиваютъ. Хаосъ необъяснимый, и никто этимъ не обижается, только одинъ сторожъ стоитъ въ дверяхъ и ухмыляется. Такъ вотъ и кажется, что ему хочется сказать: «экъ ихъ! Всѣхъ бы связать на одно лыко да въ воду спустить, а то какъ люди кричатъ о чемъ-то; сорятъ только погаными папиросками»...

Но вотъ вошелъ въ прихожую предсѣдатель съ Павловымъ; сторожъ бросился къ нему снимать шубу, въ комнатѣ вмигъ все смолкло; писцы и помощники стали застегивать пуговицы у сюртуковъ, многіе высморкались и стали къ стѣнѣ. Предсѣдатель вошелъ въ комнату въ вицмундирѣ, на которомъ красовались четыре ордена. Онъ поклонился и расшаркался. Ему поклонились всѣ, многіе чувствовали неловкость.

— Садитесь, господа, безъ церемоніи.

Совѣтники, столоначальники, бухгалтеры и контролеры сѣли за огромный столъ; писцы не двигались отъ стѣны.

— А вы?

Многіе замялись, придвинулись ближе къ стѣнѣ и никто ничего не сказалъ. Предсѣдатель и Павловъ стояли у конца стола. Предсѣдатель взялъ свертокъ отъ Павлова и началъ рѣчь:

— Господа!... Я васъ собралъ сюда для того, чтобы... какъ вамъ сказать... для того, чтобы заявить вамъ мою искреннюю, задушевную благодарность въ томъ благомъ дѣлѣ, какое я, при помощи вашей, могъ осуществить... Правда, мнѣ много стоило труда пробудить васъ отъ рутиннаго состоянія, но я все-таки сдѣлалъ для васъ кое-что.

Онъ остановился. Всѣ смотрѣли на него, какъ на что-то особенное; многіе ничего не понимали, человѣка два-три улыбнулись.

— Тутъ не надъ чѣмъ смѣяться... Я надѣюсь, вы останетесь мнѣ много благодарны... Теперь, уѣзжая въ Петербургъ, я хочу выхлопотать для васъ много полезнаго, и, если Богъ поможетъ мнѣ, вы будете счастливы. Вотъ я хочу выхлопотать вамъ прибавку жалованья, хочу основать сберегательную кассу на соціальныхъ началахъ... Что вы скажете на это?.. Господа!..

Совѣтники пошевелились, посмотрѣли другъ на друга, столоначальники и прочіе посмотрѣли на совѣтниковъ, писцы—кто въ окна, кто на совѣтниковъ, и никто ничего не сказалъ.

— Я васъ спрашиваю, господа.

— Это должно быть хорошо, только тово...— сказалъ старшій совѣтникъ.

— Итакъ, я ѣду въ Петербургъ и надѣюсь много для васъ выхлопотать. Но мнѣ бы не хотѣлось служить... здѣсь; хоть и жаль, да дѣлать нечего... А можетъ быть я пріѣду назадъ... Прощайте!

Онъ поклонился и пошелъ назадъ. Кто-то сказалъ ему вслѣдъ: «покорно благодарю». Павловъ обидѣлся за собраніе и сказалъ:

— Что же вы, господа, не поблагодарили его?

— За что?

— Какъ за что? А библіотека развѣ худое дѣло?

— Тебѣ она хороша—ты библіотекарь, да еще съ нимъ ѣдешь, ну и благодари,—сказалъ одинъ бухгалтеръ. А другой бухгалтеръ еще лучше выразился:

— А я думалъ, что онъ насъ водкой угоститъ передъ отъѣздомъ; а то, вишь ты, проститься захотѣлъ! Невидаль какая...

Надъ этимъ разсмѣялись громко и всѣ, недовольные чѣмъ-то, разошлись по домамъ, говоря, что предсѣдателю кто-то сочинилъ рѣчь, да и тутъ-то онъ не умѣлъ ее хорошенько сказать. Только потревожилъ ихъ напрасно, а то спали бы себѣ славно...

Когда предсѣдатель уѣхалъ съ Павловымъ, я чувствовалъ въ палатѣ какую-то пустоту, чего-то недоставало въ ней. А недоставало двухъ людей, предсѣдателя, который кричалъ и мучилъ служащихъ, и Павлова, который развлекалъ служащихъ своими разговорами. Мнѣ стало досадно, что они уѣхали, а я долженъ киснуть въ этомъ городѣ.

Послѣ отъѣзда предсѣдателя палата словно повернулась вверхъ дномъ. Съ перваго раза бросился въ глаза безпорядокъ, а потомъ для служащихъ насталъ какой-то праздникъ; одинъ только секретарь попрежнему работалъ, какъ волъ, чуть не за всѣхъ совѣтниковъ. Однимъ словомъ безначаліе началось страшное: каждый совѣтникъ дѣлалъ, что хотѣлъ, и не слушалъ другого; дѣла стали запускаться, чиновники начали пьянствовать; хотѣли окончательно закрыть библіотеку.

Такъ продолжалось два мѣсяца, но предсѣдателѣ

всѣ забыли; даже секретарь, который, какъ ни старался вразумить совѣтниковъ, что надо дѣлать,— махнулъ на все рукой и сталъ меньше заниматься. Работы въ канцеляріи было много, и такъ какъ я исправлялъ должность протоколиста и хранилъ ключи отъ шкафа съ дѣлами канцеляріи, то секретарь часто посылалъ за мной.

Разъ у меня послѣ обѣда были гости и я самъ былъ выпивши. Прибѣгаетъ сторожъ и говоритъ: «секретарь зоветъ сію минуту, съ нимъ неловко что-то»... Прихожу я въ присутствіе. Секретарь сидитъ блѣдный, дѣла разбросаны по полу. Я думаю: «не сходить ли за докторомъ?»

— Батюшка, Петръ Иванычъ, помоги—пропали...

— Что такъ?

— Ахъ, бѣда-бѣда!..

И секретарь закрылъ лицо руками.

— Да что такое?

— Ревизоръ вѣдь ѣдетъ, завтра... ночью будетъ... и онъ вытаращилъ на меня глаза. Меня покоробило, но въ головѣ блеснула мысль: «я въ Петербургъ буду проситься».

— Вотъ я письмо отъ предсѣдателя получилъ... Накликалъ на насъ бѣду!.. Пишетъ: «ужъ ревизоръ уѣхалъ»... Ахъ, оказія!..

— Такъ что же? У насъ все хорошо, развѣ что въ другихъ отдѣленіяхъ.

Это его успокоило, но не совсѣмъ.

— Охъ, не говорите! Что у насъ хорошаго-то? Ахъ, пропалъ я! Гдѣ Кириловъ?

— Онъ на заводѣ.

— Ахъ, какъ бы за нимъ сходить?

— Да сегодня воскресенье: онъ, я думаю, въ лѣсу, а идти-то четыре версты.

Онъ никогда не заглядывалъ въ шкафъ. А въ шкафу дѣла лежали, какъ попало, и ихъ могъ найти только я одинъ. Описи у насъ не было. Я съѣздилъ на заводъ и привезъ вольнонаемнаго писца канцеляріи Кирилова, сильно хмѣльного. Съ нимъ и съ секретаремъ я провозился до пятаго часа утра, перебирая дѣла, которыя были въ большомъ безпорядкѣ.

Такого сюрприза, какъ ревизора, да еще отъ министра, никто не ожидалъ. Для секретаря это было просто какою-то смертью съ острою косою, и онъ думалъ, что его непремѣнно отдадутъ подъ судъ тѣмъ болѣе, что онъ никогда не видалъ въ палатѣ ревизоровъ. Вся жизнь его была трудная, особенно когда онъ сдѣлался секретаремъ;—поневолѣ растеряешься. Цѣлый мѣсяцъ мы приводили дѣла въ порядокъ и коекакъ настроили ихъ, за то перепутали бумаги, отшивъ ихъ изъ одного дѣла и пришивъ къ другимъ, и въ канцеляріи остановилось текущее дѣлопроизводство. Хорошо еще, что ревизоръ долго заставлялъ ждать себя.

Когда секретарь на другой день послѣ полученія предсѣдательскаго письма объявилъ въ палатѣ о ревизорѣ, прибавивъ, что ревизоръ человѣкъ строгій, что гдѣ онъ ни ревизовалъ, вездѣ, какъ саранча, оставилъ послѣ себя слѣды—то многихъ такъ поразила эта вѣсть, что они захворали. Въ городѣ заговорили всѣ, что наконецъ-то и на казенную палату придетъ строгій судья и этотъ судья поразитъ и разоритъ до основанія всю палату. Наконецъ совѣтники пришли къ тому заключенію, что бѣду надо какъ-нибудь поправить; взятку ревизоръ не возьметъ, нужно дѣла привести въ порядокъ, но ихъ очень трудно было приладить.

— Ты что, приготовился?—спрашиваетъ бухгалтеръ контролера.

— Наплевалъ бы я. Есть мнѣ когда!

«Хитритъ»—думаетъ бухгалтеръ; погоди, какъ онъ тебя вздуетъ. Вотъ меня такъ не за что,—у меня все на отличку».

— Я, братъ, какъ пріѣдетъ ревизоръ, въ больницу уйду,—говоритъ одинъ столоначальникъ другому.

— Ну, и шалишь. Ты въ больницу и я въ больницу; а подъ судъ—такъ обоимъ подъ судъ.

— Ну, нѣтъ. Я ужъ обдѣлалъ это дѣло въ канцеляріи..

Столоначальники возненавидѣли столоначальниковъ, бухгалтеры издѣвались надъ бухгалтерами,— словомъ, всѣ ожесточились другъ на друга, завидовали, желали, чтобы собрату было хуже; но все-таки каждый боялся за себя. Больше всѣхъ трусилъ секретарь, и надъ нимъ издѣвались бухгалтеры, и онъ надъ ними.

— Вы не бойтесь; мы видѣли всякія ревизіи: ревизоры только пугать умѣютъ.

— У насъ все такъ! А какъ будетъ туго, вы и заскачете горошкомъ.

— Неужели вы боитесь?

— Если бы можно, я бы въ отставку вышелъ.

— Да вамъ-то чего бояться?

— Какъ чего?—Скажетъ: «Ты секретарь, ты чего смотрѣлъ!». Вотъ и служи!.. Тридцать три года прослужилъ, да какъ подъ судъ отдастъ.

Секретаря всѣ любили; соглашались съ нимъ, что дѣло дѣйствительно дрянь.

Я съ нетерпѣніемъ ждалъ пріѣзда ревизора. Какъ пріѣдетъ онъ, думалъ я, погляжу, что это за штука такая: если молодой да ласковый, я буду просить его, чтобы онъ перевелъ меня въ Петербургъ; если онъ старикъ и злой, я напишу ему прошеніе, а все-таки буду проситься. Что будетъ, то и будь!.. И эта мысль не давала мнѣ нигдѣ покою, но я ее никому не высказывалъ.

Ревизора ждали два мѣсяца, но онъ не изволилъ являться; не пріѣзжалъ и предсѣдатель. Всѣ палатскіе чиновники, кромѣ секретаря, рѣшили, что ревизора не будетъ.

Наконецъ пріѣхалъ предсѣдатель, объявилъ по отдѣленіямъ, что ревизоръ будетъ на-дняхъ. Пріѣхалъ и Павловъ изъ отпуска.

Была суббота. Въ этотъ день мнѣ слѣдовало дежурить, но я нанялъ дежурить другого служащаго изъ вольнонаемныхъ, а самъ ушелъ къ Павлову. У Павлова я изрядно напоздравлялся и о палатѣ совсѣмъ забылъ. Вдругъ пришелъ къ намъ сторожъ и объявилъ, что въ палату пріѣхали три ревизора, и Павлова зоветъ предсѣдатель. Зашелъ я въ палату; тамъ уже было въ сборѣ полпалаты служащихъ. Секретарь бѣгалъ, бѣсился, распекалъ всѣхъ и особенно меня. Но

я плохо понималъ, что тамъ происходило,—мнѣ спать хотѣлось. Помню только, что столоначальники и прочіе подначальные начальники были сами не свои. Далъ мнѣ секретарь переписать что-то; навралъ. Онъ обругалъ меня и велѣлъ снова переписать; я улизнулъ домой и легъ спать. Утромъ мнѣ говорили, что секретарь два раза посылалъ за мной, но меня не могли добудиться, и хозяинъ рѣшился только отдать сторожу ключи отъ шкафа.

На другой день въ палатѣ всѣ служащіе были въ сборѣ съ десяти часовъ; изъ нихъ многіе пришли даже часу въ шестомъ. Всѣ трусили. Совѣтники велѣли всѣмъ застегнуть сюртуки наглухо, причесать волосы и чѣмъ-нибудь заняться. Предсѣдатель самъ осмотрѣлъ служащихъ и дѣлалъ замѣчанія: одному—у тебя волосы длинны; другому—брюки прорваны; третьему—двухъ пуговицъ форменныхъ недостаетъ.

Наконецъ пришелъ ревизоръ, низенькій, старый, вострый человѣкъ; съ нимъ были два помощника. Онъ важно оглядѣлъ стѣны, служащихъ, разспросилъ о столоначальникахъ, отдалъ предписаніе, велѣлъ написать ему вѣдомости о числѣ дѣлъ и бумагъ, важно прошелся по всѣмъ отдѣленіямъ и назначилъ ревизію съ завтрашняго дня.

Можно представить себѣ, въ какомъ неописанномъ ужасѣ были столоначальники и прочіе господа; они просто тряслись отъ испугу.

— Вотъ онъ, дьяволъ!

— Да! отгуляли, чортъ возьми!..

Не зная, что дѣлать, они отпирали шкафы. Отворятъ шкафъ и смотрятъ:—какъ взяться, съ которой полки? Чортъ его знаетъ, какое дѣло онъ спроситъ. Зналъ бы да вѣдалъ, вотъ это бы привелъ въ порядокъ... Вытащитъ человѣкъ дѣло, посмотритъ на него, сдѣлаетъ плачевный видъ, поскоблитъ на листахъ кое-что и броситъ его назадъ.—Такъ прошло время до вечера. Всѣмъ хотѣлось отличиться передъ ревизоромъ, но какъ и чѣмъ? Мучило всѣхъ еще то: съ какого отдѣленія начнетъ онъ ревизію? А мучило ихъ это потому, что по началу на это отдѣленіе онъ сильно нападетъ, а потомъ ему скучно сдѣлается и онъ уже нехотя будетъ ревизовать.—Одинъ столоначальникъ подалъ прошеніе въ отставку, двое—бухгалтеръ и контролеръ,—прислали рапорты, что они нездоровы...

Началась ревизія съ питейнаго отдѣленія. Прочія отдѣленія успокоились, поздравили наивно питейныхъ съ ревизіей и занялись прилаживаніемъ своихъ дѣлъ. Къ счастью ихъ, ревизоръ ревизовалъ цѣлый мѣсяцъ одно питейное отдѣленіе. Питейные столоначальники говорили, что онъ просто ѣстъ ихъ, но столоначальники были люди храбрые, кончившіе курсъ въ гимназіи, и свое дѣло хорошо знали. Съ ними ему легко было возиться и они на каждый его вопросъ отвѣчали беззастѣнчиво. Онъ велъ себя очень любезно со всѣми, помощники его были тоже вѣжливы. Но когда онъ сталъ ревизовать другія отдѣленія, то тамъ открылось много безпорядковъ: столоначальники не знали, что говорить, терялись, носили не тѣ дѣла, тряслись; тутъ-то ревизоръ и показалъ себя! Кричалъ, срамилъ ихъ на всю палату... Такимъ порядкомъ онъ ревизовалъ па[illegible] мѣсяца, и въ это время мучилъ чиновниковъ своими допросами, старался всячески открыть какое-то зло...

Ревизору нуженъ былъ переписчикъ, но въ провинціи трудно найти такого переписчика, который бы умѣлъ скрывать секреты. А секретарь любилъ меня за то, что я, когда переписывалъ секретныя бумаги, никому объ нихъ не говорилъ. Разъ я переписалъ бумагу; ревизору понравилось; онъ похвалилъ меня за то, что я пишу правильно и разбираю его почеркъ, и онъ избралъ меня переписчикомъ. У ревизора мнѣ случалось бывать часто, и мнѣ каждый разъ хотѣлось высказать ему свое намѣреніе, но все не удавалось.

Въ это время пріѣхали ко мнѣ дядя съ теткой. Дядю назначили почтмейстеромъ и онъ проѣздомъ остановился у меня. Раньше, задолго до его пріѣзда, я писалъ къ нему письма, въ которыхъ я звалъ его къ себѣ въ гости. Разъ какъ-то онъ пріѣзжалъ въ губернскій городъ, пришелъ ко мнѣ на квартиру, но меня не было дома. Онъ отыскалъ-таки меня на рыболовствѣ и сдѣлалъ выговоръ за то, что онъ не засталъ меня. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно упрекалъ меня въ какой-то непочтительности къ воспитателямъ; я ему отвѣчалъ длинными письмами. Переписка шла между нами каждую недѣлю,—благо, письма отправлялись даромъ.

По обычаю мнѣ слѣдовало ихъ обнять, какъ только они вышли изъ повозки, но мнѣ показалось это глупостью и униженіемъ. Кое-какъ они вылѣзли изъ повозки, тетка заплакала—вѣроятно отъ радости,—дядя улыбнулся. Они имѣли такой видъ въ это время, что я сравнилъ ихъ съ деревенскими жителями.

— Вотъ и гости, Петръ Ивавычъ! Примите ли вы своихъ воспитателей?—сказала тетка ласково, но и какъ-то ядовито. Впрочемъ въ голосѣ ея слышалось какое-то горе, на лицѣ отражалось болѣзненное состояніе. Мнѣ жалко ея стало.

— Отчего же не принять, я радъ вамъ.

— То-то. Ужъ не женился ли?—И она улыбнулась.

— Да если бы и женился, такъ жена будетъ рада вамъ.

— Все же...

Дядя улыбался, моргалъ глазами, лѣзъ обнимать меня и говорилъ: «у, ты мой миленькой!». Я замѣтилъ, что онъ былъ выпивши.

Когда они вошли въ мою комнату, то тетка замѣтила: «вотъ вы гдѣ поживаете! Какъ же вы живете-то здѣсь?». Казалось, этими словами она выражала свое самолюбіе: я вѣдь почтмейстерша.

— По-моему—ладно.

Дядя цѣловалъ меня, высказывая, что онъ радуется, во-первыхъ, тому, что я служу хорошо и получаю порядочное жалованье, а, во-вторыхъ, ему показалось, что я его принялъ любезно.

Тетка раздѣлась, развязала узелокъ; втащила перину и сундукъ. Послѣ осмотра вещей и удостовѣренія, что все цѣло, она сѣла и сказала:

— Не знаешь ли, Петръ Иванычъ, гдѣ бы мнѣ купить косу къ головѣ?

— На что?

— Да какже! Теперь вѣдь я почтмейстерша, на

до будетъ съ визитами ѣхать, а у меня волосы почти всѣ вылѣзли; скажутъ: какая это чумичка, почтмейстерша-то?—Срамъ... Онѣ вѣдь модницы, осмѣютъ.

Это она говорила тономъ особеннаго достоинства, которымъ хотѣла удивить меня: теперь, молъ, я сама начальница, и потому надо, чтобы въ моей наружности все было хорошо. Я молчалъ.

— Да вотъ еще чепчикъ къ ночи надо купить.

Я сказалъ, что не знаю, гдѣ продаютъ такія вещи. Стали пить чай.

— Ну, какъ ты служишь?—спросилъ меня дядя.

— Ничего, хорошо.

— Ну, и ладно. Не служи только, какъ отецъ твой служилъ... Главное, будь къ начальству почтителенъ.

— Да начальство-то всякое есть.

— Ну, все же. Ты знай, что если палочку поставятъ, да велятъ кланяться—и поклонишься.

— Ни за что. Вѣдь вы тоже не поклонитесь?

— То я, то ты. Я, слава тѣ Господи, послужилъ, а ты еще только въ люди вышелъ.

— У насъ теперь ревизоръ, и если бы вы были на моемъ мѣстѣ, то убѣдились бы въ томъ, что всѣ наши начальники—дрянь.

— Ты этого не говори... Мнѣ можно говорить, а ты—молодъ. А ты вотъ лучше къ ревизору поддѣлайся.

— Я у него часто бываю.

— Вотъ и прекрасно. Попроси, чтобы онъ тебѣ должность далъ.

— Я думаю, онъ самъ дастъ.

— Ну, и надѣйся! Подъ лежачаго и вода не побѣжитъ, говоритъ пословица. А ты, какъ онъ дастъ тебѣ хорошее мѣсто, попроси его, чтобы онъ опредѣлилъ меня казначеемъ.

— Я и самъ-то еще не знаю: дастъ онъ мнѣ должность, или нѣтъ. Да мнѣ и не хочется просить у него должности.

— Ну, и дуракъ, значитъ. Ты пойми, что я старъ. У меня только на тебя надежда... А какъ ты должность получишь, старайся деньги копить да чинъ получить — это главное. Потомъ я тебѣ невѣсту найду богатую... Ты, братъ, заживешь—чудо. И мнѣ будетъ любо; всѣмъ свиньямъ буду говоритъ: что какого я племянника воспиталъ, а?—Дядя былъ очень веселъ.—Ну, поцѣлуй меня! — Я поцѣловалъ его. Тетка обидѣлась.

— Что же ты меня-то не поцѣловалъ? И обнять не хотѣлъ, какъ мы пріѣхали...—проговорила она.

Я поцѣловалъ тетку, но это показалось ей неискреннимъ. Она обидѣлась больше прежняго.

— Ужъ больно ты уменъ сталъ! Другую, вѣрно, вмѣсто меня нажилъ.

Мои воспитатели гостили у меня только два дня. Дядя ходилъ въ губернскую контору не иначе, какъ въ мундирѣ, съ шпагой и въ треуголкѣ, старался передѣлать свою походку по-губернски, махалъ руками, начиналъ говорить свысока, но все выходило у него какъ-то смѣшно. Я замѣтилъ, что онъ занимался туалетомъ больше, чѣмъ прежде; мылся дольше, мазалъ волоса помадой и больше прежняго ругалъ начальство. «Теперь я почтмейстеръ, самъ начальникъ! Мнѣ давно бы слѣдовало быть почтмейстеромъ, а они все трясли съ меня деньги. Да и теперь турнули меня вонъ куда»...

— Теперь вы отдохнете. Тамъ только одинъ разъ въ недѣлю наборъ и одинъ разъ почта приходитъ.

— Да жалованья-то мало: всего одиннадцать рублей. А развѣ я того заслуживаю?

— Все-таки вы теперь хозяинъ.

— Да я теперь долженъ быть первый въ городѣ. Я этимъ судьямъ да городничимъ плевать буду. Они всѣ теперь мнѣ должны кланяться.

Тетка не храбрилась, но даже держала себя какъ-то вяло, мало сидѣла, больше лежала и лежа думала. Я замѣтилъ ей, что она тамъ будетъ большой барыней,—она осталась довольна этимъ.

— Слава тебѣ Господи, что я почтмейстерша! Не послѣдняя же я какая-нибудь... Право!

— Вамъ нужно ладить съ тамошними барынями.

— Мнѣ-то? Ни за что. Первая ни за что никому не поклонюсь! Да я и дома все буду сидѣть; гдѣ мнѣ, старухѣ, знаться съ модницами; ихъ, поди, много тамъ.

Дядя купилъ ей косу и чепчикъ. Она приладила это на голову; и въ какомъ восторгѣ она оглядывала себя въ зеркалѣ!

— Ахъ, какъ идетъ!

— Не очень.

— Ты ничего не знаешь. Ты женись напередъ; попадется жена модница—утретъ тебѣ носъ.

— Да это-то къ вамъ нейдетъ.

Она посмотрѣлась въ зеркало, чавкнула губами отъ удовольствія, улыбнулась и стала еще старательнѣе охорашивать свою голову. Въ этомъ нарядѣ и надѣвши хорошее шелковое платье она пошла къ почтовымъ. Шла она странно, точно кто толкалъ ее впередъ: шагнетъ разъ пять, не покачнется, словно пава какая; вѣтеръ ее толкнетъ впередъ, то на бокъ, и пойдетъ она скоро, переваливаясь съ боку на бокъ. Пришла она домой недовольная.

— Смѣются надо мной, скоты, что я почтмейстершей стала.

— Что такъ!

— Платье, говорятъ, у васъ хорошее, чепчики, говорятъ, вы нынче носите.

— Вамъ бы приличнѣе шляпку надѣть—здѣсь вѣдь губернскій.

— Я почтмейстерша, мнѣ чепчикъ приличнѣе носить.

— У, дура; я говорилъ тебѣ: надѣнь шляпу, такъ нѣтъ. Ну, кто ходитъ по улицѣ въ чепчикѣ?—сказалъ ей дядя.

— Да вѣдь я платкомъ закидывалась. Всѣ смѣются, а нѣтъ, чтобы радоваться.

Дядѣ и теткѣ не понравилось жить у меня. Имъ показалось, что я не радъ имъ.

— Нѣтъ, какой ты племянникъ!

— Я вамъ готовъ всѣмъ угодить, но если я не имѣю много денегъ, чтобы угостить васъ богато...

— Не угостить, а ты косишься. Ишь, ученъ больно сталъ. Почитайте, говоритъ, книжку, а мнѣ на службу надо. Плевать мнѣ въ твои книги! Ты, братъ,

мигнешь, а я все вижу. Нѣтъ, братъ, я уѣду и больше ни ногой къ тебѣ!—говорилъ дядя.

Передъ отъѣздомъ я сказалъ дядѣ:

— Мнѣ хочется ѣхать въ Петербургъ.

— За какимъ лѣшимъ?

— Служить хочу.

— А здѣсь тебѣ еще не служба?..

— Я тамъ доучиваться буду.

— Доучиваться! А меня ты знаешь?

— Здѣсь я не могу доучиться, а тамъ къ этому больше возможности...

— А! тебѣ не нравится съ нами жить. Ишь, дядя старъ сталъ, такъ и не милъ больше? Чортъ съ нимъ, издыхай онъ, а я, молъ, и знать его не хочу... Безсовѣстный ты эдакой! За это, знаешь, тебя отодрать нужно хорошенько.

— А если я выучившись сдѣлаюсь хорошимъ человѣкомъ, то смогу тогда больше и лучше помогать вамъ.

— Ну-ну!... Служи-ка, братъ, на одномъ мѣстѣ; ты знаешь: камешокъ на одномъ мѣстѣ обростаетъ.

«Ну, подумалъ я, съ нимъ толковать не стоитъ. Станешь его уговаривать, онъ хуже озлится». Но все-таки мнѣ не хотѣлось ѣхать безъ его согласія, иначе онъ будетъ думать, что я обижаю его. Я замолчалъ, а онъ сталъ мнѣ разсказывать про свою тяжелую жизнь, какъ онъ изъ почтальоновъ сдѣлался почтмейстеромъ, никому не кланяясь, что и всѣ его товарищи, никуда не ѣздя, дослужились до хорошихъ мѣстъ и теперь благоденствуютъ. Я представилъ себѣ положеніе дяди и то, что онъ разсчитывалъ на меня въ будущемъ, и это онъ отчасти самъ говорилъ мнѣ. Вотъ ревизоръ сдѣлаетъ меня бухгалтеромъ въ палатѣ, рисовалъ онъ мнѣ мое будущее. Всѣ мнѣ будутъ кланяться. Сердце дядино будетъ радоваться, когда онъ увидитъ меня бухгалтеромъ: «такой молодой—бухгалтеръ! Вотъ, значитъ, ты умный человѣкъ. Всѣ твои сочиненія гроша не стоятъ противъ такой должности. Женишься ты на секретарской дочери, чинъ и домъ получишь... Казначеемъ тебя сдѣлаютъ! Ишь ты! мой племянникъ казначей, а я почтмейстеръ! а?»—и дядя щелкнулъ языкомъ. «Вотъ я и буду радоваться да казать всѣмъ фигу: каковъ, молъ, я, черти вы эдакіе... А то ишь ты, выдумалъ въ Петербургъ, учиться вздумалъ...».

— Ну-съ, я буду казначеемъ, а потомъ что?

— А какого тебѣ чорта еще нужно?

— Я совсѣмъ оглупѣю тогда, да еще дѣтей дураковъ надѣлаю.

— Ты мнѣ этого не говори. Ты самъ глупъ и больше ничего. А если ты будешь туда проситься, то не знай больше меня, и я тебя знать больше не хочу! Чортъ съ тобой.

«Ладно!» подумалъ я и, проводивъ дядю, рѣшился при первомъ же удобномъ случаѣ поговорить объ этомъ предметѣ съ ревизоромъ.

Какъ человѣкъ робкій, я боялся высказать ревизору на словахъ свое желаніе и поэтому написалъ ему письмо, въ которомъ подробно изложилъ свое желаніе ѣхать въ Петербургъ, и для удостовѣренія того, что я умѣю сочинить; я предлагалъ ему прочитать какую-нибудь свою драму. Ревизоръ прочиталъ письмо при мнѣ и при чтеніи нѣсколько разъ улыбался.

— Такъ вы сочинитель? — спросилъ онъ меня и самъ засмѣялся.

Я покраснѣлъ.

— Что краснѣете? Вы драматическій писатель? ха-ха-ха!..

Я осердился; мнѣ обидно сдѣлалось. Ну, подумалъ я, что я надѣлалъ?..

— Я вамъ скажу, что сочинители всѣ ни къ чему негодный народъ... Впрочемъ я васъ испытаю. Приготовьте мнѣ черезъ двѣ недѣли рекрутскій уставъ.

— Очень хорошо.

— Я васъ проэкзаменую. Ступайте!

Когда я выходилъ изъ комнаты, то слышалъ, какъ онъ хохоталъ, разсказывая своему помощнику про меня.

Мнѣ сдѣлалось досадно, что я написалъ ему это письмо.

Когда я сказалъ товарищамъ, что ревизоръ велѣлъ мнѣ приготовить рекрутскій уставъ, они заговорили: «ну, братъ, должность онъ тебѣ хочетъ дать... Экое, подумаешь, счастье людямъ...». Сталъ я читать законъ, — плохо понимаю; иныя статьи вовсе не понимаю, да и читать много некогда. Дѣлъ подъ руками не было, посовѣтываться не съ кѣмъ, и я не знаю, о чемъ меня будетъ спрашивать ревизоръ. Пришелъ я къ нему храбро, думая: если онъ обругаетъ меня и не согласится перевезти въ Петербургъ, я поступлю на должность по пароходству, куда приглашали меня за тридцать рублей въ мѣсяцъ.

Ревизоръ спросилъ меня:

— Вы читали рекрутскія дѣла?

— Нѣтъ.

— Отчего же вы не читали?

— Вы велѣли мнѣ читать законъ, а дѣлъ мнѣ безъ вашего разрѣшенія никто бы не далъ.

— Вотъ вамъ два дѣла. Ступайте въ ту комнату, прочитайте и скажите: какъ, отчего и почему?

Рекрутскія дѣла у меня никогда не бывали въ рукахъ; о рекрутскомъ уставѣ я не имѣлъ никакого понятія. Прочитавши законъ, я узналъ очень немного, но вѣроятно столько же, сколько и онъ зналъ. Теперь мнѣ попадались дѣла уже рѣшенныя, и я долженъ сказать о нихъ свое мнѣніе: похвалить палату или нѣтъ. Дѣла были маленькія—на десять-двадцати листахъ. Читалъ я ихъ два часа и путался на докладахъ, сочиненныхъ тяжелымъ канцелярскимъ слогомъ; мнѣ казалось, что палата поступила вѣрно, по крайней мѣрѣ такъ выходитъ по-человѣчески, да и въ законѣ такъ же писано. Я рѣшился сказать, что дѣла рѣшены правильно,—и угадалъ. Но ревизоръ хотѣлъ сбить меня съ толку нѣкоторыми канцелярскими неправильностями, разными разспросами и указаніями на статьи закона. Я хотя и отвѣчалъ неповоротливо, но попадалъ, на что слѣдовало.

— Теперь я вижу, что вы читали законъ, кое-что смыслите... Вы хотите ѣхать въ Петербургъ, а не знаете, что это за городъ?.. Вы представьте себѣ, что вашъ Орѣховъ, въ сравненіи съ Петербургомъ, — дрянной уголъ, деревня; тамъ одинъ кварталъ боль-

ше вашего города. Вы мечтаете, что вы геній. Удивительно! Да вы и доклада хорошенько не въ состояніи сочинить, не только что печатать ваши маранья. Получше вашего брата сочинители тамъ голодаютъ.

— Перепиской я никому не принесу пользы.

— Врете, вы отечеству принесете пользу.

— Себѣ я приношу только пользу ту, что я получаю жалованье, какъ переписчикъ; а переписываю я не отечеству, а людямъ обыкновеннымъ, какъ и я.

— Вотъ вы и вольнодумствуете. Знаете, что съ вами за это можно сдѣлать?

Много онъ говорилъ мнѣ о томъ, какъ трудно жить въ Петербургѣ бѣдному человѣку, и что я, желая ѣхать туда, возмечталъ о себѣ очень много. Наконецъ, видя мое смиреніе, онъ сказалъ, что приметъ во мнѣ участіе, переведетъ, но съ условіемъ, если я не буду тамъ сочинять; въ противномъ случаѣ, онъ не переведетъ. Чтобы подумать объ этомъ, онъ далъ мнѣ сроку десять дней.

Думать мнѣ было нечего, потому что если онъ согласился меня перевести, то гораздо лучше будетъ для меня, если я скажу ему, что я сочинять не буду. Такъ я и сказалъ.

— Ну, и хорошо. Я васъ переведу и принимаю въ васъ участіе, какъ отецъ. Вы тамъ будете одинокій человѣкъ, соблазна будетъ много. Но помните, что тамъ надо трудиться, а вы съ чистымъ почеркомъ найдете работу. Кромѣ департамента, вы можете заниматься въ кварталѣ. Тамъ дадутъ вамъ рублей восемь. Черезъ два года я сдѣлаю васъ помощникомъ столоначальника... Главное, почитайте меня, ласковы будьте съ служащими и не глядите исподлобья на начальниковъ. Понимаете?

«Вѣроятно, думалъ я, чиновники тамъ почище здѣшнихъ. Ужъ если ревизоръ разсуждаетъ такъ, то что хорошаго можно ожидать отъ его товарищей?». Однако я очень радовался, что ревизоръ далъ мнѣ слово перевести меня, и сказалъ объ этомъ секретарю. Тотъ былъ тоже радъ и съ своей стороны не утерпѣлъ, чтобы не сказать обо мнѣ чиновникамъ. Вся палата узнала объ этомъ.

— Что, братъ, совѣтникомъ захотѣлось быть?

— Ишь, несидячая пташка!

— Смотри, коли ревизоромъ будешь, не забывай своихъ товарищей: пирогъ сдѣлаемъ,—говорили старики.

— Гдѣ ему... Онъ хоть похвастаетъ.

— Вѣрьте вы ему!

— Чего вѣрить, всякій на его мѣстѣ получилъ бы то же.

— Счастье этимъ дуракамъ... Дурацкое это счастье,—завидовали молодые.

— Молчи,—сочинитель... Ужо онъ насъ опишетъ,—говорили тѣ, которые не любили меня.

Послѣ этого ревизоръ скоро уѣхалъ. Мнѣ опять сдѣлалось скучно. Въ надеждѣ, что я можетъ быть скоро уѣду отсюда, я невзлюбилъ палату сильнѣе прежняго. Мнѣ казалось, что я уже доживаю здѣсь послѣдніе дни; работа не шла на умъ, книги плохо читались; я только и думалъ о Петербургѣ: какъ я пріѣду туда, какъ я буду жить, каково-то мнѣ тамъ будетъ... Ахъ, какъ бы скорѣе уѣхать туда! Но дни шли за днями, мѣсяцы за мѣсяцами, городъ все болѣе и болѣе казался противнымъ... Въ палатѣ я уже гордился, важничалъ надъ писцами, капризничалъ, думалъ: «погодите, уѣду же я отъ васъ, досадно вамъ будетъ, проклянете вы мое счастье потому, что всѣмъ вамъ хочется хоть однимъ глазкомъ посмотрѣть Петербургъ...».

— Ишь, какъ переваливается! А тоже свою персону показать хочетъ,—издѣвались надо мною.

— На-те, молъ, еще моей персоны недоставало...

Прошло три мѣсяца со времени отъѣзда ревизора, и объ немъ въ палатѣ всѣ забыли. Сначала, какъ водится, всѣ перекрестились, пожелали ему всякихъ чертей и болѣзней, пождали два мѣсяца—не смѣнятъ ли какого-нибудь совѣтника съ должности, не отдадутъ ли кого-нибудь подъ судъ. Но ничего особеннаго не случилось, и чиновники вошли въ прежнее состояніе, дѣла начали совершаться попрежнему. Но вотъ на четвертый мѣсяцъ получили въ палатѣ запросъ отъ министерства. Запросъ большой. Чиновники общими силами написали ловкое объясненіе. Отослали его и сказали: «знай нашихъ» и сдѣлали пирушку... Черезъ недѣлю послѣ этого одного совѣтника перевели въ другую губернію, предсѣдателя причислили къ министерству. Чиновники сказали, что ревизоръ щупаетъ старшихъ и стали ждать себѣ бѣды. Поругали на прощанье самодура предсѣдателя и на прощанье собрали по подпискѣ денегъ и поднесли ему подарокъ. Секретарь получилъ орденъ, одного бухгалтера сдѣлали совѣтникомъ, двухъ столоначальниковъ отдали подъ судъ, и начался скрежетъ зубовный у чиновной палаты.—Погодите, еще не то будетъ!—говорили одни.—Онъ насъ всѣхъ приберетъ!—говорили другіе.—Наконецъ и я получилъ письмо отъ ревизора, которымъ онъ увѣдомлялъ меня, что я могу теперь подать прошеніе въ такой-то департаментъ и ѣхать, когда будутъ требовать отъ меня формулярный списокъ. Служащіе завидовали мнѣ больше прежняго еще потому, что видѣли письмо ревизора, и напрашивались на поздравку. Одно было только сомнѣніе, это то—если тамъ вакансію замѣстятъ другимъ чиновникомъ, не дождавшись моего прошенія? Все-таки я надѣялся на переводъ и съ каждой почтой ожидалъ изъ Петербурга запроса отъ департамента на мое прошеніе. Я написалъ дядѣ, что буду служить въ министерствѣ и черезъ ревизора могу выиграть на службѣ много. А я ѣду на свои деньги которыя я получу отъ лотереи. Въ эту лотерею я задумалъ разыграть старыя книги и подаренные мнѣ дядей часы. Предполагалось получить сорокъ рублей да жалованье. Ѣхать было можно, даже я разсчитывалъ эти деньги употребить на поѣздку назадъ, если меня по какому-нибудь случаю не переведутъ. Дядя все-таки злился и сталъ писать ко мнѣ рѣже.

Прошло четыре мѣсяца и о моемъ переводѣ не было и слуху. Чиновники сначала очень интересовались моимъ переводомъ; потомъ стали смѣяться надо мной.

— Что, братъ, вѣрно подлилъ только?

— Ты, поди, теперь славно поживаешь.

— Не ѣзди, братъ, послужи съ нами. Пословица говоритъ: вездѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

И это продолжалось каждый день. На лотерею никто не подписывался. А тутъ повторилась старая исторія, которая едва-едва меня не задержала и не оставила навсегда въ Орѣховѣ.

Какъ-то я шелъ изъ палаты. Вдругъ попадается мнѣ старая знакомая, Степанида Кириловна. Она была жена станціоннаго смотрителя и часто прежде ходила къ матери Лены, жила около нихъ и постоянно пьянствовала.

— Здравствуйте, Петръ Иванычъ!—сказала она.

— Здравствуйте.

— Давно не видались, сударикъ. Елену Павловну не видали?

— Нѣтъ. А что?

— Да она вѣдь овдовѣла.

— Такъ что же?

— Экой злодѣй... Вѣдь вы ея женихъ были.

— Такъ что же, что женихъ? Вѣдь она все-таки вышла замужъ и между нами не было очень близкихъ отношеній!

— Ну-ну, полноте. Овдовѣла, бѣдняжка! Такая жалость. Мать при смерти.

— Что такъ?

— Да водку все пила, — водянка сдѣлалась. Провѣдайте.

— Ловко ли это будетъ?

— Ничего, право. Пойдемте теперь!

— Теперь я не могу, потому что сплетничать пожалуй станутъ.

— А вы не женились? Я слышала вы въ Петербургъ собираетесь.

— Въ Петербургъ ѣду, а не женился.

— Ну, вотъ и женитесь.

— Вы, Степанида Кириловна, передайте только Еленѣ Павловнѣ и ея мамашѣ, что я бы зашелъ къ нимъ, да понимаете, неловко. Если это не будетъ неловко, то пусть онѣ извѣстятъ меня. — Она ушла.

«Зачѣмъ я сказалъ это?—думалъ я. Если я пойду къ Ленѣ, то опять пробудится моя страсть, опять я буду думать о ней и она обо мнѣ. Теперь она женщина, испытавшая супружескую жизнь, знаетъ всѣ пріемы этой жизни, потому что около года была замужемъ. Опять эти ласки и заискиванья... И зачѣмъ эта баба встрѣтилась со мной и наговорила мнѣ столько вздору?».

Черезъ день я получилъ отъ Лены записку. Она писала, что мамаша ея рада видѣть меня и даже что-то хочетъ сообщить мнѣ важное.

«Что же это такое важное хочетъ сообщить мнѣ ея мать?—думалъ я всю дорогу. Ужъ не замужъ ли за меня она хочетъ спихнуть свою дочь? Покорно благодарю».

Квартира Лены заключалась въ двухъ комнаткахъ съ кухней; другую половину дома занимала теща съ сыномъ-чиновникомъ и дочерью, дѣвицей годовъ пятнадцати. Лена сидѣла около больной матери своей и утирала глаза платкомъ. Мать лежала блѣдная и постоянно кашляла.

— Ахъ, какъ я вамъ благодарна, голубчикъ! Здравствуйте, Петръ Иванычъ. Садитесь. Охъ!—И она закашлялась.

Лена тяжело вздохнула. Кажется ее давило какое-то горе. Она мнѣ поклонилась и подала мнѣ руку. Рука была холодная.

— Давненько мы съ вами не видались—проговорила мать.

— Да, цѣлый годъ.

— А сколько перемѣнъ-то! Вотъ Лена замужемъ была, ребенка недавно схоронила. Ну, да Богъ съ нимъ; успѣлъ и мужъ умереть.

— Что же онъ, больной былъ?

— Чахоточный... Ну, а вы какъ поживаете?—Поставь-ка, Лена, самоваръ.

Лена ушла ставить самоваръ, а мать ея начала разсказывать о себѣ и о мужѣ Лены.

— Вы не повѣрите, Петръ Иванычъ, какая моя жизнь проклятая, — просто мученье, да и только... Еще когда онъ былъ живъ, я захворала; вотъ теперь пятую недѣлю не встаю съ кровати, ноги отнялись, пухнутъ... Кашель проклятый смучилъ. А все, будь оно проклято, съ водки... Пить бы не надо. И вы не пейте.

— Я пью, да такъ, балуюсь.

— Охъ, вредно, родной.—Ну, какъ ваши?

— Ничего. Почтмейстеромъ теперь...

— Ну, слава Богу. О чемъ я говорила-то?... Вотъ и память всю отшибло...

— А каковъ былъ мужъ Елены Павловны?

— Ахъ, и не говори! Сначала такой славный былъ, только кашлялъ постоянно. Не рада я, что и отдала ее за него. Дура я, дурища...

— Что же дѣлать!

— Да-да, воля Божья! Такой, знаете ли, капризный, пьющій, все ее бѣдную бить лѣзетъ. Ну, и вступишься. Онъ-то еще ничего, Богъ съ нимъ, Леночку любилъ, одѣвалъ хорошо, и меня не обижалъ, а вотъ мать его—просто змѣя. Эдакой я въ жизнь свою не видала... Я вотъ тоже поколачивала Лену, — такъ маленькую, на то я родная мать, а то она, эхидна, скупая-прескупая, всѣмъ ее попрекать стала, и меня туда же. Цѣлый день крикъ.

— Ты, шлюха, опять самоваръ ставишь!—закричала какая-то женщина въ кухнѣ.

— Я свой ставлю,—послышался нѣжный голосъ Лены.

— Я тебѣ дамъ. Ты сходила по воду-то? Твои дрова-то?

— Да гость къ маменькѣ пришелъ.

— Я тебѣ дамъ гость! Всякихъ шалопаевъ принимаешь, всякой дряни самоваръ ставишь. Не смѣй угли брать!

— Я лучинкой достану...

— Ахъ ты шлюха! Ахъ, Господи, нѣтъ у меня ногъ-то, а то я бы тебѣ задала,—сказала громко черезъ силу мать Лены.

Въ дверяхъ показалась женщина лѣтъ сорока восьми, толстая, румяная.

— Докудова это вы будете командовать! Завтра чтобы васъ не было!—закричала эта толстая баба.

— Я тебѣ дамъ!—прошипѣла мать Лены.

— Что-о?

— А вотъ тебѣ! — И мать Лены плюнула на толстую женщину. Мнѣ становилось неловко отъ этой сцены.

— А ты кто такой? — вдругъ спросила меня толстая женщина.

— Я пришелъ къ Анисьѣ Васильевнѣ.

— А! не успѣлъ муженекъ-то умереть, она и жениховъ подзываетъ. Такъ вотъ же вамъ! — И она, сдернувъ съ гвоздя висѣвшее шелковое платье Лены, утащила его.

Мать озлилась; съ нею сдѣлался нервный припадокъ. Пришла Лена, заплакала.

— Чей этотъ домъ?

— Тещи... Она вотъ ужъ вторую недѣлю гонитъ насъ.

— Что же вы не ѣдете? Эдакъ она измучитъ васъ.

— Куда ѣхать, Петръ Иванычъ?

— Отправьте мать въ больницу, а сами на квартиру съѣзжайте или къ родственницѣ.

— Неловко маменьку оставить, она не можетъ жить безъ меня.

Мать очнулась. Я ей посовѣтовалъ уѣхать въ больницу.

— Я это хочу, да боюсь,—уморятъ.

— Тамъ вамъ спокойнѣе будетъ.

— Похлопочите вы, ради Бога, а ее пошлю къ родственницѣ.

Эту родственницу я часто видалъ. Она была вдова, получала большую пенсію и кромѣ этого имѣла свой домъ; но она была скупая женщина. Отправился я къ ней; она сказала, что у нея негдѣ жить Ленѣ. Я сообразилъ, что, нанявши квартиру, Ленѣ неловко будетъ жить одной безъ матери, жить работой, да и работы скоро не найдешь. Оставить ихъ тутъ долѣе не было возможности. Я рѣшился найти имъ квартиру. Квартиру эту я нашелъ имъ недалеко отъ своей квартиры— двѣ маленькія комнатки за два рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы стряпать за эту же плату въ хозяйской кухнѣ. Когда я сообщилъ это матери Лены, она очень осталась довольна.

Такимъ образомъ мнѣ привелось устроить Лену и мать ея. Но чѣмъ имъ было жить? Безъ работы имъ нельзя было жить; да къ тому же, матери нужно было покупать лекарства. Я далъ имъ своихъ пять рублей и совѣтовалъ что-нибудь заложить, когда понадобятся деньги, потому что своихъ денегъ у меня больше не было.

Въ палатѣ узнали про это и стали смѣяться надо мной.

— Смотри-ка, петербургскій-то выходецъ шпигуется! Любовницу на содержаніи держитъ.

— Ай да хватъ! Даромъ, что смирный, а свое дѣло знаетъ.

Послѣ разсказаннаго случая, здоровье Лениной матери становилось все хуже и хуже. Каждый день я ходилъ къ ней и каждый день она становилась ко мнѣ ласковѣе прежняго. Лена радовалась, когда я приходилъ, и мнѣ часто доводилось говорить съ ней, но мы говорили только о ея скверномъ положеніи.

Разъ я пришелъ утромъ. Мать спала, Лена читала книгу. Я подошелъ къ ней; она улыбнулась, весело поглядѣла мнѣ въ глаза и крѣпко сжала мою руку.

— Какъ вы добры, Петръ Иванычъ,—сказала она нѣжно; голосъ ея дрожалъ. Мнѣ неловко стало отъ этихъ словъ. Я понялъ, что она или любитъ меня, или расположена ко мнѣ болѣе, чѣмъ къ другимъ. Въ это время я привязался къ ней болѣе прежняго. Но теперь я уже крѣпко держался тѣхъ убѣжденій,—какова должна быть моя жена; а Лену я понялъ такъ: она была смирная, любящая женщина; она въ жизни много перетерпѣла горя и теперь для нея настаетъ незавидная жизнь. Какъ бы худа ни была мать, но она жила все-таки подъ покровительствомъ ея, потому что при ея неразвитіи и неумѣніи жить самостоятельнымъ трудомъ, ей плохо придется жить одной. Въ провинціи работы для женщины мало: нашьешь и навяжешь немного, плату за это дадутъ небольшую, да и такихъ рабочихъ женщинъ, которыя бьются изъ-за куска хлѣба, много, очень много, и всѣ онѣ не жалуютъ свою работу. Идти въ услуженіе тоже ей не подъ силу, во-первыхъ, потому, что хотя она и умѣетъ стряпать и печь, мыть и мести, но все-таки она не привыкла къ этой работѣ; во-вторыхъ, ею будутъ помыкать, попрекать ее станутъ чужимъ хлѣбомъ, назовутъ еще бѣлоручкой, да и отъ лакеевъ ей не будетъ спуску; она или выйдетъ оттуда развращенной, или сбѣжитъ, не вынесши тяжелой жизни; а въ-третьихъ, ей все-таки не дадутъ хорошаго жалованья. Учить дѣтей она не можетъ, быть нянькой ей тоже незнакомое дѣло, да и въ чиновный домъ ея не возьмутъ, потому что жены будутъ ревновать къ ней своихъ мужей. Да, положеніе такой молодой женщины гадко въ провинціи. Вѣдь нужно же было умереть мужу, да еще издыхать матери! Имѣй она свой или материнъ домъ, она могла бы получать кое-что съ квартиры, и на нее все-таки никто бы не указалъ нахально пальцемъ. А то сколько мать ни работала для нея и для себя, все было съѣдено и пропито; осталось только нѣсколько посуды и платьевъ старыхъ, да еще немногое пріобрѣтено отъ мужа. Остается выходить замужъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Мать Лены умерла. Знакомые ея при моей помощи, пособили намъ сбыть ее въ могилу. Много было тутъ пролито слезъ дочерью; самому хотѣлось плакать при видѣ горестнаго положенія Лены. «Одна я теперь, одна! Въ жизни я была ей тягостью, замужество мое сгубило ее... Добрая ты была, мамаша!..».

Были, какъ водится, поминки, но простенькія: три гостьи — пріятельницы покойной, я да Лена. Гости выпили водки, вспомнили добродушіе покойницы и расплакались. Дошло до наивностей.

— Петръ Иванычъ, ты останься съ Леночкой ночевать.

— Съ чего вы взяли, что я останусь?

— Да вѣдь вы женихъ.

— Вовсе я не женихъ и не хочу, чтобы люди худое говорили про Елену Павловну. Вы кто-нибудь останьтесь съ ней.

Я сталъ прощаться съ Леной.

— Вы смотрите, держите ухо востро, а то онѣ обокрадутъ васъ.

— Ахъ, зачѣмъ вы уходите?

— Нельзя.

— Посидите!.. Нѣтъ, приходите завтра, ради Бога.

— Вы завтра ищите другую квартиру, да вамъ нужно жить съ женщиной. Здѣсь вамъ нельзя больше жить. Вѣдь вы будете думать о мамашѣ?

Лена заплакала.

Положеніе Елены меня сильно печалило. Въ продолженіе мѣсяца я хорошо познакомился съ нею и убѣдился, что она хочетъ жить честно, хочетъ трудиться, и меня опять попрежнему мучило намѣреніе жениться на ней. Теперь я убѣдился, что она, испытавши замужнюю жизнь и горе, будетъ стараться пріобрѣтать себѣ какъ-нибудь деньги и не будетъ требовать моихъ денегъ; у насъ будетъ трудъ хотя и разнообразный, за то мы будемъ помогать другъ другу въ матеріальныхъ средствахъ. Но будетъ ли она помогать моему развитію?—вопросъ этотъ сильно пугалъ меня. Она сама неразвитая женщина, но что же дѣлать, если она не развита? Но за то она говоритъ прямо, что чувствуетъ, и нисколько не стѣсняется своимъ незнаніемъ. Она прямая, честная женщина. Чего же еще надо? А я-то что такая за особа?

Но какъ устроить ея положеніе? Везти въ Петербургъ съ собой я не могу, потому что я самъ не знаю тамошней жизни. Надо спросить ея совѣта.

Я пришелъ къ ней на новую квартиру. Она жила съ дѣвушкой, швеей, уже невѣстой какого-то писца, перебивающейся кое-какъ. Дѣвушки дома не было. Лена шила свадебное платье.

— Какъ вы долго не были, Петръ Иванычъ.

— А что?

— Скучно очень.

— Я съ вами давно хотѣлъ поговорить объ очень важномъ предметѣ.

Елена покраснѣла и задумалась.

— Я васъ знаю давно, т. е. прежде я зналъ васъ только лично, а не зналъ, что вы за дѣвушка были. Теперь я васъ узналъ.

— Что же вы узнали?

— То, что вы добрая, честная женщина.

— Еще что?

— Мнѣ и этого достаточно. Ну, а вы меня узнали?

— Я? Мало. По наружности трудно судить о мужчинахъ. Вы у меня бывали много разъ, а я у васъ ни одного.

Мы молчали. Немного погодя, я сказалъ:

— Но дѣло вѣдь вотъ въ чемъ, Елена Павловна: нынче я ѣду въ Петербургъ.

— Совсѣмъ?

— Да.

Она поблѣднѣла и принялась усиленнѣе шить, но иголка сновала невпопадъ.

— А вамъ не хочется, чтобы я ѣхалъ?

Она ничего не сказала, только проглотила слюну.

— Зачѣмъ вамъ ѣхать?

— Учиться хочу.

— Да вы развѣ мало знаете?

— Очень мало.

— Ну, тамъ вы другихъ людей найдете; а между нами какіе же люди!

Она вышла на дворъ. Оттуда она пришла съ красными глазами.

— Я не могу оставаться здѣсь, но надо подумать и рѣшить, какъ намъ лучше устроиться.

— А вы къ чему это говорите?—спросила она меня строго.

— А вы согласны быть моимъ другомъ?

— Какимъ другомъ?

— Быть женой?

— Вы уже разъ обманули...

«Капризничаетъ», думалъ я. Но вѣроятно она не капризничала, а ей тяжело было въ это время.

— Поѣзжайте! Я буду жить какъ Богъ велитъ.

— Зачѣмъ падать духомъ? Надо терпѣть!

— Терпѣть!—сказала она громко; на глазахъ появились слезы. И сказала-то она, — такъ словно внутренность моя перевернулась.

«Экая проклятая жизнь! думалъ я дома. Или оставаться здѣсь, или бросить ее?—Эка штука! Женюсь я на ней здѣсь и захрясну между этими людьми, отъ которыхъ я такъ давно хочу бѣжать. Оставить ее здѣсь... Но она-то какъ будетъ биться? Терпѣть ей годъ, ждать... А если мнѣ тамъ на повезетъ, если я самъ себя не выручу тамъ; если наконецъ я увлекусь тамъ и забуду ее? Нѣтъ, я ее не забуду. Я буду работать для нея. Я ее вызову туда».

Черезъ день я пришелъ къ ней, она приняла меня сухо.

— Я думала, вы уже уѣхали.

— Видите ли, я бы женился на васъ здѣсь, да я не знаю петербургской жизни. Когда я поживу тамъ мѣсяцъ, то напишу вамъ подробно, тогда вы сообразите: ѣхать вамъ туда, или нѣтъ.

— Я вѣдь не навязываюсь.

— Не къ тому я говорю. Вы сами поймете, что я не могу васъ взять съ собой, во-первыхъ потому, что на свадьбу нужны деньги.

— Какія?

— Попу за исповѣдь — рубль. — Все-таки на свадьбу выйдетъ рублей десять, да доплестись до Петербурга намъ обоимъ будетъ стоить рублей пятьдесятъ; а если меня не опредѣлятъ тамъ, то намъ трудно будетъ жить.

— Въ такомъ случаѣ я буду ждать.

— Да, надо ждать. Тамъ и обвѣнчаемся.

На другой день послѣ этого разговора, въ палатѣ получилась бумага изъ министерства, которою просили изъ палаты мой формуляръ. Всѣ меня поздравили; я подалъ прошеніе въ отпускъ и поѣхалъ къ дядѣ проститься. «Что-то дядюшка скажетъ? Каково-то это будетъ для тетки? Неужели они еще будутъ препятствовать мнѣ?». Это меня всю дорогу

мучило; но еще заботило меня то: какъ бы уговорить дядю помочь Ленѣ.

Дядя меня никакъ не ожидалъ. Я подъѣхалъ утромъ часу въ одиннадцатомъ къ почтовому дому, въ которомъ помѣщалась контора и жилъ почтмейстеръ. Я увидалъ дядю въ окно.

— Это къ намъ? Какой такой чортъ!—сказалъ голосъ изъ окна.

Я понялъ, что это говорилъ мой дядюшка. Черезъ три минуты въ воротахъ показалась тетка въ старомъ ситцевомъ платьѣ, съ скалкой въ лѣвой рукѣ, а за ней—дядя въ халатѣ и съ папироской во рту. Увидѣвъ меня, тетка обтерла фартукомъ свои мучныя губы.

— А! это ты, племянничекъ... Что?—сказалъ дядя.

Я посмотрѣлъ на него. На лицѣ я не замѣтилъ никакой улыбки. Есть такіе люди, на желтомъ лицѣ которыхъ ничего не замѣтишь, будь ты какой угодно физіономистъ. На лицѣ дяди мнѣ вообще рѣдко случалось замѣчать улыбку.

— Какъ это вы надумались посѣтить насъ?—спросила тетка.

Я подошелъ сначала къ теткѣ, поцѣловалъ ее.

— Смотри, что намъ дали! — сказалъ дядя, указывая на дворъ и домъ.

Теперь я замѣтилъ, что онъ какъ-то зло улыбался; обстановка, какъ видно, ему не нравилась: ему хотѣлось, какъ почтмейстеру, жить въ каменныхъ хоромахъ, а онъ жилъ въ старомъ деревянномъ домѣ, который соединялся съ сараями. На полу доски, въ правой сторонѣ березовыя дрова.

— Мѣсто чисто провинціальное; деревней пахнетъ, за то воздухъ хорошъ.

— Кхе!—дядя кашлянулъ и разсмѣялся, и какъ хозяинъ-начальникъ сказалъ:

— Ты посмотри, гдѣ почтмейстеръ-то живетъ!

— Ахъ, Петенька, что это за жизнь-то,—говорила тетка, постоянно охая.

— Губернскимъ не пахнетъ.

Взошелъ я по шаткой лѣстницѣ.

— Это крыльцо... Уѣздный городъ—послѣдній городъ, дрянь... Я въ заводахъ лучше живалъ.— И т. п.

Сначала дядя разспрашивалъ меня о новостяхъ; тетка слушала и улыбалась. Я говорилъ о политикѣ, дядя ругалъ Гарибальди и всѣхъ тѣхъ политическихъ дѣятелей, о которыхъ онъ вычиталъ въ «Сынѣ Отечества»,—высказавши притомъ, что этотъ журналъ и «Воскресный Досугъ» — самые лучшіе въ мірѣ журналы. Теперь я замѣтилъ, что дядя занимался чтеніемъ; а занимался онъ чтеніемъ потому, во-первыхъ, что ему было скучно, а во-вторыхъ, ему, какъ почтмейстеру, хотѣлось похвастаться новостями передъ корреспондентами. Онъ читалъ только «Сынъ Отечества» и «Воскресный Досугъ», другіе журналы и газеты онъ и въ руки не бралъ:—тѣ не для насъ писаны, — говорилъ онъ. Особенно дядя любилъ картинки. Каррикатуры его смѣшили, и онъ хвастался; «славно, какъ въ «Сынѣ Отечества» отрисовали!.. это вѣрно нашъ купецъ сѣдой...» Кромѣ политики, происшествій и картинокъ, дядя ничѣмъ не интересовался: случалось, читалъ онъ повѣсти, но рѣдко, и то хвалилъ только такую повѣсть, если въ ней были концомъ смерть, кража или вообще насиліе. Иначе его трудно было заинтересовать.

Теперь онъ выглядывалъ настоящимъ уѣзднымъ почтмейстеромъ, какихъ у насъ весьма много. Хотя у него и была прежняя простота, но она мѣшалась съ личнымъ достоинствомъ: я почтмейстеръ, я начальникъ, я отдѣльная въ городѣ власть и никого не боюсь. Онъ дѣйствительно никого не боялся: въ контору ходилъ въ халатѣ кромѣ пріемныхъ дней, почту отправлялъ тоже въ халатѣ, почтальоны и почтосодержатель его слушались, съ городскою аристократіею онъ не хотѣлъ знаться. Сидитъ онъ напримѣръ у отвореннаго окна; черезъ дорогу, въ большомъ домѣ, живетъ какой-то уѣздный тузъ. Дядя ругается: «ишь, дьяволъ, какой домъ нажилъ, и вечера дѣлаетъ». Вотъ прошелъ какой-то служащій, поклонился дядѣ, дядя кивнулъ головой и говоритъ мнѣ: «дрянь, шельма!.. Жениться нынче хочетъ. Въ приданое даютъ дыроватый сапогъ да блоху на аркашѣ»,—хохочетъ. Вышла изъ воротъ барскаго дома ватага аристократовъ и аристократокъ; дядя отходитъ прочь отъ окна и ворчитъ громко: «не поклонюсь и шапки никогда не сниму, хоть вы и губернаторскіе клевреты. (Это слово онъ гдѣ-то вычиталъ и ему оно очень понравилось. Это слово, по его понятію, было нехорошее, хуже всѣхъ ругательныхъ словъ)». И начинаетъ онъ разсказывать цѣлыя исторіи объ этихъ клевретахъ.

Прежде дядя любилъ ходить пѣшкомъ, теперь онъ ѣздилъ, и тетка тоже ѣздила: а лошадь была почтовая, даровая. Теперь его зналъ весь городъ и всѣ ему кланялись, а это ему очень нравилось. Теткѣ тоже кланялись; но она рѣдко выходила съ мужемъ, ей и лѣнь было, и почему-то неловко казалось показаться на улицѣ; она такъ любила свою комнату, что постоянно послѣ обѣда сидѣла у окна и наблюдала за всѣмъ, что происходило на улицѣ и въ барскомъ домѣ.

— Ну, какъ ревизоръ?—спросилъ меня дядя.

— Уѣхалъ.

— А вѣдь ты просился въ Петербургъ?

— Просился.

— Я тебѣ говорилъ раньше свое мнѣніе...— Онъ сказалъ это тономъ начальника, какимъ не говорилъ раньше.

Пришелъ крестьянинъ получать письмо, и дядя ушелъ въ контору, которая помѣщалась въ квартирѣ дяди въ небольшой угловой комнатѣ. Подсѣла ко мнѣ тетка.

— Ну, какъ Лена?—спросила она меня.

— Положеніе ея плохое...

— Я говорила самому, чтобы ее взять къ намъ, да онъ говоритъ: самимъ тѣсно будетъ.

— Вы, мамаша, позволите мнѣ жениться на ней?

Тетку это какъ будто удивило. Она долго молчала; наконецъ сказала:

— Да вѣдь у ней ничего нѣтъ.

— Да вѣдь и вы такъ же выходили замужъ.

— Я дѣвица была. Да и прежде проще было, а нынѣ дороговизна страшная.

— Все-таки можно жить.

— Ты самъ знаешь, не маленькій. Ты выросъ. Мы тебя вскормили, вспоили. Ты и прежде насъ не слушался, въ Орѣховъ самъ уѣхалъ, теперь безъ нашего спросу въ Петербургъ ѣдешь.

— Мнѣ бы не хотѣлось такъ дѣлать. Вы Лену знаете.

— Дѣлай, какъ знаешь, а мы къ тебѣ на свадьбу не поѣдемъ...

Пришелъ дядя.

— Слышишь? онъ на Ленкѣ жениться хочетъ.

— Еще лучше!

Дядя долго ворчалъ, но отказа не давалъ, потому вѣроятно, что думалъ: «онъ можетъ быть не поѣдетъ въ Петербургъ». Послѣ обѣда я сказалъ имъ, что черезъ недѣлю ѣду въ Петербургъ. Это ихъ поразило. Они очень поблѣднѣли.

— Ну, что ты скажешь на это? — спросила тетка дядю.

— Ну вотъ!—сказалъ только дядя.

Въ этихъ словахъ высказывалось горе. Дядя тяжело вздохнулъ. Мнѣ жалко ихъ стало обоихъ. «Зачѣмъ мнѣ ѣхать? Не поѣду», подумалъ я, и хотѣлъ сказать имъ это, но языкъ не поворачивался.

— Богъ съ тобой, Петръ Ивановичъ,—сказалъ дядя.

Ему какъ будто плакать хотѣлось.

— Я, папаша, только съѣзжу.

— Богъ съ тобой!—сказала тетка и заплакала.

— На себя пеняй! Кто тебѣ велѣлъ женить брата?—сказалъ дядя и ушелъ въ контору.

Тетка стала упрекать меня во всемъ, что она знала худого за мной, но больше плакала. Жалко мнѣ было ихъ обоихъ, хотѣлось воротить назадъ свое слово, но я не могъ этого сдѣлать. Мнѣ представлялся Орѣховъ со всѣми людьми, вся моя жизнь за все прожитое тамъ время; меня манилъ къ себѣ Петербургъ, меня тащило туда что-то.

— Что ты тамъ будешь дѣлать?—шары продавать?—сказалъ мнѣ дядя, пришедши изъ конторы.

— Я буду служить въ министерствѣ...

Дядя долго молчалъ.

— Поди-ко-сь, безъ тебя тамъ мало людей шатается безъ мѣстъ!

Я сказалъ, что ревизоръ меня полюбилъ и туда уже послали мой формуляръ.

— А если тебя не переведутъ?

— Надъ этимъ-то я и самъ задумывался. Кто знаетъ, какіе тамъ порядки: можетъ быть въ то время, какъ посланъ былъ оттуда запросъ, уже вакансію мою замѣстили. Ну, я такъ съѣзжу.

— Эдакой богачъ! Служилъ бы, знать, а не шатался безъ дѣла... Все бы ты ѣздилъ; эдакъ, братъ, никакой должности никогда не получишь.

Жизнь обоихъ супруговъ была скучная, тѣмъ болѣе, что занятій было мало. Встанутъ они въ шесть-семь часовъ, напьются чаю. Послѣ чаю дядя отправляется въ контору; если тамъ дѣлать нечего, онъ свиститъ, поетъ, барабанитъ по столу пальцами и радъ-не радъ постороннему человѣку, съ которымъ можно потолковать о житьѣ-бытьѣ. Придетъ почта, получаются бумаги, почтальонъ сообщаетъ новости, и эти новости обсуждаются дядей и теткой цѣлую недѣлю. Тетка стряпаетъ въ кухнѣ. Пробьетъ десять часовъ, дядя выпьетъ рюмку водки и опять скучаетъ. Въ двѣнадцатомъ часу опять выпьетъ рюмку водки и садится обѣдать. Обѣдъ всегда бываетъ въ первомъ часу, и послѣ него до шестого часу супруги спятъ. Послѣ обѣда опять скука: идти некуда, да и не въ модѣ въ этомъ городѣ. И скучаетъ дядя, проклинаетъ свою скуку и городъ... И проклинаютъ они городъ еще потому, что содержаніе дорого, жалованья мало, доходовъ нѣтъ, и бываетъ часто, что дядя беретъ взаймы бумагу изъ судовъ, потому что казенныхъ денегъ на этотъ предметъ недостаетъ.

У нихъ я прожилъ четыре дня и скучалъ такъ, какъ никогда. Наконецъ нужно было ѣхать. Какъ разъ къ отъѣзду пріѣхали два родственника; дядя Антипинъ съ зятемъ.

— Вотъ, господа, посмотрите на парня! въ Петербургъ ѣдетъ,—сказалъ дядя. Онъ злился въ это время.

— Хорошее дѣло,—сказалъ Антипинъ.

— А какъ по-вашему, ѣхать ему или нѣтъ?

Родственники толковали дядѣ, что я хорошо дѣлаю, но дядя все злился. Тетка плакала.

— Коли такъ, нѣтъ тебѣ моего благословенія!—закричалъ дядя.

— Полно!—уговаривали его родственники.

— Не ваше дѣло. Прокляну!

Но все-таки онъ далъ мнѣ шесть рублей денегъ.

Крѣпко я обнялъ тетку, и горько плакала она въ это время. Дядя тоже утиралъ глаза, но онъ очень злился на меня, говоря: «выкормили соколика и знать насъ не хочетъ».

— Не забывайте меня,—говорилъ я имъ, садясь въ повозку.

— Не забывай, Петенька. Въ люди выйдешь, вспомни насъ!—говорила тетка.

Но тяжелѣе всего мнѣ было разставаться съ Леной. Изъ словъ ея и обращенія я понималъ, что она любила меня, и любила давно. Да и къ кому же ей больше привязаться, когда мы росли вмѣстѣ года четыре? И мнѣ припомнилось, что въ это время мы сильно были расположены другъ къ другу, у насъ не было ссоръ и тѣмъ болѣе дракъ. Потомъ Лену любили наши родственники, мои родные, называли ее родной, я скучалъ объ ней, когда ея не было у насъ.

Уѣхалъ я въ уѣздный городъ служить, прожилъ тамъ два года, и страшно мнѣ хотѣлось жить въ Орѣховѣ, познакомиться съ Леной, какъ слѣдуетъ, устроить нашу жизнь такъ, чтобы не мѣшать другъ другу и, женившись на ней, имѣть въ ней хорошаго, настоящаго друга и вмѣстѣ съ ней учиться и развиваться. Это я хотѣлъ устроить и дошелъ до этого безъ всякой посторонней помощи, тѣмъ болѣе безъ книгъ; а въ жизни я видѣлъ все какой-то разладъ, сѣтованіе на судьбу и людей; въ романахъ же и вообще въ любви на разные манеры, кончающейся женитьбой или смертью героевъ, ничего похожаго не было на

мой планъ. Когда я въ первый разъ пріѣхалъ въ Орѣховъ и пошелъ къ Ленѣ, я засталъ ее и мать ея въ такомъ же положеніи ихъ умственнаго состоянія, какъ и прежде; только Лена выросла и стала красивой, нѣжной и здоровой дѣвушкой. Я ее полюбилъ тогда сильнѣе, но, увлекаясь ею, все-таки не могъ узнать ее поближе, т. е. сходится ли она, или похожа ли на мой идеалъ. Чѣмъ дольше я вглядывался въ ея лицо, все больше и больше я любилъ ее, любилъ даже такъ, что готовъ былъ жениться на ней. Лена всегда улыбалась, когда я приходилъ къ ней, жала мнѣ крѣпко руку; въ Пасху, когда мать ея заставила насъ похристосоваться поцѣлуями, она крѣпко поцѣловала меня въ третій разъ, а я только прикасался губами къ ея лицу и слышалъ я, какъ сильно билось ея сердце въ это время; многимъ женихамъ она отказала, не смотря даже на ихъ чиновничество; но и при всемъ этомъ она никогда не сказала мнѣ ни одного любезнаго слова, когда она бывала со мной; ей неловко было, что я тутъ, и она напряженнѣе работала, краснѣла, не поднимала головы. Тогда я догадывался, что она меня любитъ, но любитъ скромно, по-своему, не любезничаетъ, не вѣшается на шею, и за это я полюбилъ ее еще больше. Когда я узналъ, что Лена выходитъ замужъ,—цѣлый день я былъ въ ажитаціи, ругалъ себя и наконецъ пришелъ къ тому заключенію, что она меня не любитъ и считаетъ за обманщика, или мать сбываетъ ее съ своихъ рукъ. Прошелъ мѣсяцъ, два; мнѣ чаще и чаще стало приходить въ голову сожалѣніе, что я не женился на ней. Были у меня друзья, но эти друзья пріучили меня пить водку, играть въ карты; я начиналъ тупѣть и лѣнился заниматься своимъ развитіемъ. И въ это-то время я приходилъ къ тому заключенію, что отъ Лены я требовалъ многаго, даже невозможнаго при ея воспитаніи. «Уменъ ли я-то?—думалъ я. Что я могу дать ей, чѣмъ я разовью ее? Я только считаю себя умнымъ, во мнѣ самолюбія много, а люди считаютъ меня дуракомъ. Павловъ говорилъ, что я плохо развитъ, ревизоръ смѣялся надо мной. Чѣмъ я гордился? Тѣмъ, что мнѣ удалось напечатать въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ двѣ статьи, которымъ я самъ не сочувствовалъ и за которыя меня же обругалъ печатно мой товарищъ?»...

Черезъ годъ я увидалъ Лену женщиной, имѣвшей ребенка, перетерпѣвшей много горя въ замужествѣ. Въ мѣсяцъ я узналъ лучше ее, чѣмъ въ пятнадцать лѣтъ, и этому помогло то, что она могла говорить со мной, какъ женщина, свободно. Вотъ что говорила она о своей замужней жизни. «Въ домѣ я была работница: ставила самоваръ, топила печь, мела полы и должна была слушаться мать, мужа, брата, сестру и не выходить изъ ихъ воли. Денегъ мужъ мнѣ давалъ, и не хотѣлъ, чтобы я работала на сторону. А мнѣ хотѣлось работать, потому что я привыкла къ этому. Скучно было, я рада, что какую-нибудь книжку дадутъ читать, но книги были старыя, французскіе романы глупые—да и мужъ толковалъ мнѣ, что мнѣ надо медицинѣ учиться, я могу быть повивальной бабкой, и говорилъ мнѣ часто объ этомъ. Мужъ хворалъ, я боялась, чтобы онъ не умеръ: куда я дѣнусь съ ребенкомъ? Умеръ онъ, мнѣ жалко его стало, потому что онъ добрый былъ и ласкалъ иногда».

По пріѣздѣ въ Орѣховъ отъ дяди въ послѣдній разъ, я пошелъ къ ней проститься, такъ какъ завтра мнѣ нужно было ѣхать, а сегодня у меня вечеромъ назначена была лотерея. Она казалась холоднѣе ко мнѣ, чѣмъ раньше.

— Я въ монастырь пойду,—сказала она мнѣ.

— Значитъ, вы меня не любите?

— Ахъ не говорите.

Она молчала долго.

— Ну, а вы поѣдете ко мнѣ?

— На какія деньги я поѣду? Ну, я пріѣду къ вамъ: вы думаете, я съ вами жить стану? — покорно благодарю.

— Не лучше ли намъ теперь обвѣнчаться, а потомъ я уѣду,—вы пока поживете здѣсь.

— Нѣтъ ужъ, поѣзжайте... Не судьба вѣрно.— И она заплакала.

— Прощайте!

— Когда вы ѣдете?

— Завтра.

— Такъ вы точно ѣдете?

— Да.

Лена замолчала, лицо ея поблѣднѣло. Жалко мнѣ ее было; я такъ дядю и тетку не жалѣлъ. Однако я подошелъ къ ней, подалъ ей руку. Она подала мнѣ свою руку, а на меня не глядѣла; мнѣ самому неловко было...

— До свиданія,—сказалъ я.

Она молчала.

— Елена Павловна!

— Что?

— Прощайте!

Она ничего не сказала... Я ушелъ. Затворяя двери, я видѣлъ, какъ она плакала.

«Зачѣмъ я пошелъ къ нимъ въ то время, когда получилъ записку отъ Лены?—упрекалъ я себя. Не ходи я, и ничего бы не было».

Вечеромъ была лотерея. Гостей было двѣнадцать человѣкъ. Всѣ перепились, расцѣловали меня, пожелали мнѣ счастія и каждый разстался со мной другомъ, прося написать каждому письмо о Петербургѣ. Всѣ они упрекали меня Леной и спрашивали: повезу ли ее въ Петербургъ; многіе совѣтовали мнѣ не возить ея: «ты тамъ хорошую, образованную найдешь».

Съ лотереи я получилъ тридцать рублей, да изъ палаты взялъ жалованья за этотъ мѣсяцъ и за будущій. Такимъ образомъ у меня составилось пятьдесятъ рублей.

Утромъ я отправился къ Ленѣ. Она складывала свои вещи.

— Куда вы?

— На квартиру. Я нашла за городомъ квартиру за пятьдесятъ копѣекъ въ мѣсяцъ. Хозяйка—старуха, кажется, добрая; живетъ она съ дочерью. Дочь вдова-солдатка и работаетъ на пристани. Всего только одна изба, да ладно съ меня. А вы совсѣмъ?

— Сейчасъ ѣду.

— Прощайте. Я бы пошла проводить васъ, да

*

некогда. Пишите. Я ей далъ пять рублей, но она обидѣлась и не взяла.

— Я не нищая, слава Богу. Вамъ самимъ пригодятся.

Съ тоской я ушелъ на пароходъ, но за то тамъ я съ нетерпѣніемъ ожидалъ отплытія. Человѣкъ шесть меня провожали и завидовали моему счастью. Наконецъ пароходъ тронулся, обернулся по большей рѣкѣ; сотни рукъ сняли шапки отплывавшимъ, махали платками. Всѣ отъѣзжающіе-палубные перекрестились, улыбнулись, только мнѣ было скучно: я уѣзжалъ отъ той, счастье которой я могъ составить. «Что-то будетъ съ ней?—думалъ я... Ну, да мнѣ самому свое счастье дороже...» И казалось, какъ будто она стояла на горѣ, къ сторонѣ отъ людей, глазѣющихъ на отплывающій пароходъ и говорящихъ: счастливчики! Но вдалекѣ я могъ видѣть только ея желтое платье, развѣвавшееся отъ вѣтра. Сердце сжалось у меня, когда я подумалъ: «каково-то ей, бѣдняжкѣ, въ это время?»—и я отвернулся отъ берега и сталъ смотрѣть на пароходный міръ, откуда слышалось въ разныхъ мѣстахъ:—прощай, Орѣховъ! дрянной ты городишка... То ли дѣло вонъ тамъ-то у насъ... Разлюли житье!..»

III.

Только дорогой, подъѣзжая ближе къ Петербургу, я услыхалъ, что въ Петербургѣ бѣдному человѣку жить трудно, но я этому не вѣрилъ. Я думалъ, что если я въ Орѣховѣ получалъ сначала жалованья шесть рублей—и жилъ же, то и тамъ на двадцать рублей въ мѣсяцъ проживу. Я думалъ, что тамъ я буду получать жалованья не меньше двадцати рублей, изъ коихъ три я отдамъ за комнату, да за обѣдъ буду платить семь рублей, а десяти рублей мнѣ хватитъ на чай, сахаръ, табакъ и одежду. Кромѣ этого, я слыхалъ, что въ министерствахъ даютъ большія награды. Но вотъ и Петербургъ! Москва не произвела на меня такого впечатлѣнія, какъ Петербургъ своими домами, движеніемъ народа, разнообразіемъ цвѣтовъ и видовъ, крикомъ и навязчивостью торгашей и извозчиковъ. Здѣсь я съ перваго же шага изъ вагона попалъ на попеченіе добродушнаго человѣка, который сказалъ мнѣ, что онъ беретъ меня къ себѣ въ гостинницу за пятьдесятъ копѣекъ, схватилъ и понесъ мое имущество, уложенное въ чемоданѣ, и привелъ меня въ сырую, душную комнату со сводами. Это былъ подвалъ, какъ сейчасъ же оказалось.

Вечеръ я провелъ смутно. Видѣлъ я Петербургъ, а не могъ осмыслить, что я видѣлъ: дома, люди, лошади, кареты — все вертѣлось въ моей головѣ, какъ въ туманѣ. Вышелъ я за ворота—не знаю, куда идти. Вернулся—и заблудился во дворѣ, окруженномъ четырехъ-этажнымъ домомъ. Насилу нашелъ свою лачугу. Здѣсь я былъ совершенно чужой всѣмъ; поди я куда-нибудь—меня занесетъ туда, что мнѣ и не выйти одному, да я и не знаю, въ какой части города я живу, въ чьемъ домѣ, у кого. Вонъ заиграли музыканты во дворѣ, и почти въ каждомъ окнѣ я увидалъ если не по два человѣка, то по одному, сталъ я считать ихъ, насчиталъ до сорока; скучно стало... Грустно сдѣлалось, что я одинъ, что у меня денегъ шестнадцать рублей и я не могу прокатиться по городу... Но меня брало раздумье: «а если мое мѣсто уже занято кѣмъ-нибудь? Въ такомъ случаѣ я буду сочинять или буду искать какихъ-нибудь занятій». Пришелъ хозяинъ.

— Вы, поди, спать хотите съ дороги-то. Не купить ли водки?

— Пожалуй.

Выпилъ я стаканчикъ очищенной; хозяина поподчивалъ и скоро заснулъ. Черезъ день, розыскавши департаментъ и узнавши, гдѣ живетъ начальникъ отдѣленія Черемухинъ, я пошелъ къ нему на квартиру для того, чтобы представиться. Прежде я часто бывалъ въ барскихъ кухняхъ, пріемныхъ и комнатахъ, потому что у насъ въ Орѣховѣ являются такъ къ начальникамъ на домъ съ подарками. И здѣсь мнѣ захотѣлось увидать барина въ кухнѣ съ одной стороны потому, что я сознавалъ свое ничтожество, какъ писаришки изъ провинціи передъ генераломъ, и находилъ поэтому за лучшее протереться къ нему съ кухни; а съ другой стороны по провинціальному обычаю мнѣ хотѣлось услыхать о генералѣ кое-что отъ прислуги: хорошъ ли онъ и т. п. Вошелъ я по одной лѣстницѣ въ третій этажъ, сказали: «ступайте по другой лѣстницѣ, а лучше спросите дворника». Дворника во дворѣ не нашелъ; дворницкая заперта, пошелъ на-удачу по другой лѣстницѣ,—на третью послали. Опять пошелъ я по какому-то крыльцу къ верху; въ четвертомъ этажѣ меня остановилъ дворникъ, спускавшійся сверху съ двумя ведрами.

— Что ты тутъ шляешься?—крикнулъ онъ на меня.

— Я Черемухина ищу.

— Я тѣ дамъ Черемухина! Кто ты такой?

— Я не здѣшній. Скажи ради Бога, гдѣ онъ живетъ.

— Я тѣ покажу! не здѣшній... Пошелъ прочь!.. Ты долженъ дворника спросить, а не шляться по лѣстницамъ.

— Скажи пожалуйста,—взмолился я.

Въ это время изъ лѣвыхъ дверей вышелъ молодой человѣкъ, пріятной наружности, въ сюртукѣ.

— Что тутъ?—спросилъ этотъ человѣкъ дворника.

— Да вонъ этотъ барина вашего спрашиваетъ.

— На что вамъ генерала?

— Мнѣ нужно.

— Они не принимаютъ на дому. Извольте въ департаментъ отправиться.

Я спустился. Обидно мнѣ показалось, что меня даже и въ кухню-то не пустили. «Вретъ!—думалъ я. Пойду съ параднаго». Во дворѣ я увидалъ другого дворника, съ огромной вязанкой дровъ. Онъ мнѣ разсказалъ, какъ нужно попасть съ параднаго хода въ 18-й номеръ. Вхожу въ подъѣздъ—точно залъ: стѣны шпалерами оклеены, налѣво передъ столомъ сидитъ на стулѣ швейцаръ съ пуговицами и съ позументомъ на фуражкѣ и читаетъ афишки, за нимъ вѣшалка, на которой виситъ шинель. На полу ковры, впереди лѣстница съ ковромъ, на ней поставлены цвѣты.

— Кого нужно?—спросилъ меня небрежно швейцаръ.

— Черемухина.

— Отъ кого?

— Самъ отъ себя.—Мнѣ стало обидно, что онъ принялъ меня за лакея.

— Нельзя.

— Отчего?

— Сказано—нельзя, и все тутъ.

— Я изъ департамента, съ приказомъ.

— Ну, пошелъ! Давно бы такъ сказалъ... Да пальто-то на вѣшалку повѣсь.

Повѣсивъ пальто, я пошелъ по лѣстницѣ по коврамъ. Сердце билось сильно. На стѣнахъ плоховатыя картины, нарисованы деревья, да дѣвы какія-то; пахнетъ духами. Вотъ я и въ третьемъ этажѣ. Смотрю налѣво—надъ дверьми № 18, на одной половинѣ двери мѣдная дощечка и на ней вырѣзано: дѣйствительный статскій совѣтникъ Павелъ Макаровичъ Черемухинъ. Сталъ я у двери,—словно дрожь пошла по тѣлу: вотъ, думаю, какъ отворитъ двери онъ самъ, да какъ закричитъ... Съ замираніемъ сердца я взялся за звонокъ и сильно дернулъ его два раза. Черезъ нѣсколько минутъ мнѣ отворилъ двери тотъ же лакей, который говорилъ со мною на черной лѣстницѣ. Увидавъ меня, онъ сказалъ сердито:

— Вамъ сказано, что генералъ не принимаетъ.

— Будто?

Лакей, не сказавъ ни слова, заперъ дверь.

Я ужасно былъ золъ въ это время и, чуть ли не плюнувъ на дощечку, сошелъ внизъ.

— Его, говорятъ, нѣтъ дома,—пожаловался я швейцару.

— Я почему знаю,—проговорилъ швейцаръ, не отнимая глазъ отъ какой-то газеты.

Отсюда я злой пошелъ прямо въ департаментъ. Въ пріемной стоялъ швейцаръ, очень высокій господинъ, какъ пугало въ огородѣ, съ булавой. Я было пошелъ на лѣстницу, но онъ остановилъ меня.

— Снимите пальто.

Въ это время я уже смирился духомъ.

Я снялъ пальто и по просьбѣ швейцара далъ ему за сбереженіе пальто пятнадцать копѣекъ.

На мнѣ былъ надѣтъ форменный сюртукъ, состряпанный въ Орѣхѣ, съ орѣховскими пуговицами, давно отлинявшими, съ протертыми локтями и полинялымъ воротникомъ. Брюки были старые, полинялые; на одномъ сапогѣ дыра, и поэтому мнѣ стыдно было подниматься въ департаментъ. На площадкѣ между двумя департаментами стояло шесть сторожей. Они очень любезно заговорили со мной и объяснили, что Черемухинъ еще не пріѣхалъ, и такъ какъ теперь второй часъ, то онъ скоро будетъ. Узнавши, что мнѣ надо, сторожа пожелали мнѣ счастья.

На площадкѣ и по двумъ корридорамъ ходили чиновники въ вицмундирахъ, фракахъ, пальто, пиджакахъ и сюртукахъ—старые, молодые и юноши. Я стоялъ робко и чувствовалъ, что я въ сравненіи съ ними дрянцо, и сознавалъ свое ничтожество передъ ними; лицо мое горѣло, со сторожами я говорилъ запинаясь, ходилъ по площадкѣ неловко, руки и ноги вздрагивали...

— Черемухинъ идетъ!—сказалъ одинъ сторожъ, стоявшій у перилъ лѣстницы, и вслѣдъ затѣмъ вошелъ на площадку здоровый человѣкъ лѣтъ сорока, съ важной надутостью въ лицѣ. Въ корридорѣ онъ спросилъ вахмистра здоровымъ голосомъ, протяжно:

— Директоръ здѣсь?

— Точно такъ-съ, ваше-ство!—отрапортовалъ скороговоркой вахмистръ.

— Спрашивалъ меня?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше-ство!

— Доложи, когда придетъ вице-директоръ Н.

— Слушаю-съ.

И генералъ пошелъ по корридору, важно покачиваясь на правый бокъ и держа голову кверху. Многіе чиновники кланялись ему низко, и онъ, какъ мандаринъ, кивалъ имъ слегка, а нѣкоторымъ и вовсе не кланялся.

— Это онъ?—спросилъ я сторожа.

— Онъ. Онъ теперь въ свое отдѣленіе пошелъ. Идите.

— Булку будетъ жрать,—замѣтилъ другой сторожъ, улыбаясь.

По указанію сторожа вошелъ я въ большую комнату съ лакированнымъ поломъ, съ семью столами разныхъ величинъ. Чиновники одѣты прилично, смотрятъ франтами; одни пишутъ, другіе разговариваютъ, третьи читаютъ газеты. Я никогда не ходилъ по лакированнымъ поламъ и теперь боялся, какъ бы мнѣ не упасть, потому что ноги мои имѣли къ этому большое поползновеніе. Такимъ образомъ, смотря на полъ и по сторонамъ, я замѣтилъ все-таки, что чиновниковъ очень много; меня пробирала дрожь и я не знаю самъ, какимъ образомъ прошелъ много комнатъ и остановился только въ послѣдней комнатѣ. Со страхомъ я подошелъ къ какому-то высокому человѣку въ сюртукѣ съ палкой въ лѣвой рукѣ для того, чтобы спросить, гдѣ начальникъ такого-то отдѣленія. Но я и тутъ сробѣлъ. А я отъ самаго дома вплоть до департамента занятъ былъ тѣмъ — какую мнѣ сказать рѣчь начальнику отдѣленія? Въ голову ничего не лѣзло, кромѣ словъ: имѣю честь рекомендоваться, канцелярскій служитель, помощникъ столоначальника Кузьминъ. И это я твердилъ всю дорогу, въ то время, когда шелъ по департаментской лѣстницѣ и когда шелъ по комнатамъ. Она мнѣ не нравилась, хотѣлось сказать красивѣе, да ничего лучше не выходило. Теперь, занятый своею рѣчью, я струсилъ высокаго человѣка съ палкой. Увидавъ меня, онъ спросилъ:

— Что надо?

— Я... Куз...

— Что-о?—чуть не заревѣлъ на меня человѣкъ съ палкой. Я смотрѣлъ на его палку, которая точно прыгала.

— Мнѣ нужно начальника...—Я забылъ фамилію начальника отдѣленія.

— Что вамъ надо? зачѣмъ вы шляетесь по отдѣленіямъ!—закричалъ онъ и отошелъ прочь.

Ко мнѣ подошелъ какой-то молодой чиновникъ и, переспросивъ, что мнѣ нужно, указалъ дорогу и замѣтилъ:

— Зачѣмъ вы вице-директора безпокоите!

— Развѣ я знаю,—сказалъ я какъ-то глупо съ досады.

Пошелъ я по указанной дорогѣ; ноги подсѣкались. Увидалъ Черемухина и подошелъ къ нему. Онъ сидитъ налѣво, что-то жуетъ и разговариваетъ громко съ какимъ-то чиновникомъ, сидящимъ около него. Я сталъ передъ Черемухинымъ.

— Что скажете?—спросилъ онъ меня и всталъ.

— Имѣю честь рекомендоваться...—Я закашлялся.

— Что нужно?

— Я, ваше п-ство, Кузьминъ изъ Орѣховской губерніи.

— А!.. Петръ Васильевичъ!—обратился онъ къ одному изъ подчиненныхъ.

— Что прикажите?—спросилъ его кто-то. Въ глазахъ у меня рябило.

— О Кузьминѣ какое распоряженіе сдѣлано?

— Причислили къ департаменту.

— Ахъ! да! Вы къ департаменту причислены,— произнесъ генералъ такимъ тономъ, какъ будто онъ мнѣ сдѣлалъ большое благодѣяніе.

Это благодѣяніе меня словно обухомъ ударило по головѣ. Я ничего не слушалъ, что говорилось вокругъ меня и что дѣлалось.

— Поняли? – спросилъ меня кто-то. Я очнулся. За большимъ столомъ сидѣло пять человѣкъ, трое изъ нихъ смотрѣли на меня и улыбались: двое писали и о чемъ-то переговаривались другъ съ другомъ.

— Я въ это отдѣленіе назначенъ?—спросилъ я одного чиновника особенно пристально смотрѣвшаго на меня.

— Опоздали немного; директоръ другого велѣлъ опредѣлить, а васъ причислили къ департаменту.

— Сколько же мнѣ дадутъ жалованья?

— Ничего.

— Да у меня всего-то денегъ шестнадцать рублей. Чѣмъ же я буду жить?

Я опять подошелъ къ начальнику отдѣленія и уже храбро.

— Ваше п-ство! Я не могу быть причисленнымъ къ департаменту, потому что я имѣю всего денегъ 16 рублей...

— Жалѣю!.. Кто же васъ просилъ ѣхать?

— Да вѣдь мой формуляръ затребовали. Вы хотя по волѣ меня примите.

— Директоръ говоритъ, что вы не обучались даже въ гимназіи... А у насъ нынче даже много университетскихъ причислено къ департаменту. Впрочемъ вы зайдите дня черезъ четыре, я можетъ улажу это дѣло.

Я пошелъ къ директору. Долго я терся въ пріемной между разными чиновницами и кое-какъ дождался директора. Онъ уже шелъ домой. Это былъ высокій, тучный господинъ съ бакенами, лѣтъ 35-ти, въ вицъ-мундирѣ безъ орденовъ.

— Что скажете?.. — спросилъ онъ меня небрежно, мимоходомъ, глядя въ дверь.

Я объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

— Подайте прошеніе,—сказалъ онъ мнѣ и пошелъ.

— Да вѣдь я причисленъ къ департаменту...

Директоръ обратился къ какому-то чиновнику, вѣроятно правителю канцеляріи.

— Что ему нужно?

— Вамъ что нужно?—переспросилъ меня правитель канцеляріи.

— Кузьминъ... Я изъ Орѣховской губерніи.

— Объ немъ, ваше п-ство, хлопоталъ Симоновъ, ревизовавшій Орѣховскую палату...

— У меня, ваше п-ство, всего 16 р.,—сказалъ я директору.

— Доложите завтра!—сказалъ директоръ правителю канцеляріи и, раскланявшись, ушелъ домой.

— «Ахъ, какъ хорошо быть директоромъ! Власти-то сколько... Дѣлай что хочешь!»—думалъ я, спускаясь съ лѣстницы. Пошелъ я на свою квартиру въ большомъ горѣ. Первое вертѣлось въ головѣ то: какъ я буду жить здѣсь? Ну, проживу я мѣсяцъ, а потомъ? И я рѣшился подождать еще четыре дня и потомъ искать службы гдѣ-нибудь въ частныхъ конторахъ. Проситься въ департаменты я не могъ, потому что у меня не было ни одного знакомаго въ Петербургѣ, а Симоновъ, который мнѣ протежировалъ, назначенъ былъ въ какую-то провинцію. Шелъ я по Невскому, и какъ мнѣ противенъ онъ казался со своимъ блескомъ... но все же при этомъ мнѣ страшно было больно, что я не могу въ Петербургѣ долго жить. Буду ли я въ немъ долго жить? Не знаю. Вотъ я и надѣялся на переводъ, а что вышло!.. Ѣхать назадъ не хотѣлось, да и на какія я поѣду деньги?

Андрей Васильевичъ, мой хозяинъ, тоже пособолѣзновалъ мнѣ и сталъ просить зажитыя мной у него за квартиру съ пищей два рубля и при этомъ обидчивымъ тономъ говорилъ мнѣ, что онъ человѣкъ бѣдный, платитъ за квартиру дорого и ему отъ этой квартиры въ пять комнатъ только убытокъ. Онъ уступилъ мнѣ эту комнату за 35 коп. въ сутки на пять дней.

Скука была страшная въ это время. Хозяинъ говорилъ глупости, да ему и некогда было бесѣдовать со мной; сестра его, повивальная бабка, дѣвица 29 лѣтъ, сѣтовала, что въ Петербургѣ очень много бабокъ, практики нѣтъ, а въ провинцію она не ѣдетъ, во-первыхъ, потому, что помогаетъ въ хозяйствѣ брату, а во-вторыхъ, въ провинціи простой народъ не довѣряетъ ученымъ бабушкамъ. Шатался я и по городу—все не весело. Такъ бы и не глядѣлъ ни на что, такъ и вертѣлись въ головѣ слова чиновниковъ изъ Орѣхова: «служилъ бы ты, служилъ здѣсь, а то ишь совѣтникомъ захотѣлъ быть». Опротивѣло мнѣ глазѣть по городу и сталъ я лежать. Пролежалъ сутки, надоѣло. На другія сутки сталъ переписывать одну статью—ничего не лѣзетъ въ голову; выпилъ водки для вдохновенія,—хуже: спать захотѣлось...

Пришелъ въ департаментъ. Черемухинъ объявилъ мнѣ, что мнѣ назначено заниматься въ его отдѣленіи; что я буду числиться при департаментѣ впредь до опредѣленія въ штатъ, а такъ какъ я человѣкъ бѣдный, то буду получать жалованье, какъ вольнонаемный писецъ.

— Сколько же мнѣ будутъ давать?—спросилъ я помощника столоначальника, Василья Петровича, въ столъ котораго меня отослалъ Черемухинъ.

— Не знаю. Рублей десять или восемь.

— А штатные сколько получаютъ?

— Низшій разрядъ 11 р. съ копѣйками да въ эмеритуру вычитаютъ проценты.

Велѣли приходить на другой день на службу.

Теперь я немного повеселѣлъ и не робѣлъ, какъ сначала, а глядѣлъ бойко на людей, идущихъ и ѣдущихъ, какъ будто получилъ богатство или считалъ себя петербургскимъ жителемъ; больше прежняго заглядывался по сторонамъ, смотрѣлъ на богатства, разложенныя на окнахъ въ магазинахъ, читалъ вывѣски на домахъ и сердился, что вывѣски большею частью написаны не по-русски, читалъ названія улицъ, стараясь запомнить на случай мѣстность для того, чтобы не плутать послѣ. И неловко мнѣ казалось толкаться въ народѣ: пальто мое сшито не такъ, какъ у петербургскихъ. Попадалось мнѣ много книжныхъ магазиновъ, не утерпѣлъ, зашелъ въ одинъ и купилъ одну книгу, заплативъ за нее два рубля съ полтиной.

Андрей Васильевичъ опять сталъ просить денегъ; когда я отдалъ, то у меня осталось всего капитала 7 р. 50 к. Повелъ онъ меня смотрѣть квартиры. Долго мы ходили по разнымъ улицамъ и переулкамъ, останавливались у воротъ и подъѣздовъ, на которыхъ были прибиты бумажки, гласящія, что здѣсь отдается комната или отдаются квартиры съ прислугой или безъ оныхъ, заходили въ дома каменные, четырехъэтажные и одноэтажные; былъ я домахъ въ десяти или больше, но нигдѣ не нанялъ квартиры по вкусу и дешевой. Въ одной квартирѣ отдавали комнату проходную за пять рублей, но мнѣ не понравилось то, что отдавала комнату молодая женщина, въ дверяхъ же другой комнаты стояла дѣвушка лѣтъ 18, а въ этой комнатѣ на диванѣ сидѣлъ военный писарь. Въ другой квартирѣ отдавался уголъ, и въ этой комнатѣ, гдѣ отдавался уголъ, было кажется восемь человѣкъ на лицо. Наконецъ я вошелъ въ деревянный домъ съ пятью окнами на улицу, одноэтажный; зашелъ я съ перваго попавшагося крыльца, какая-то женщина сказала грубо: съ кухни!—и захлопнула двери. Кухня грязная, съ однимъ окномъ, около котораго сидитъ женщина лѣтъ 35 и что-то починиваетъ. Недалеко отъ нея стояла женщина лѣтъ 40, съ измятымъ лицомъ и кричала:

— Я чиновница. Слышь ты!

— Прохвоста, поди, какова! съ солдатами таскаешься,—отвѣчала хладнокровно женщина, сидѣвшая у окна, продолжая шить.

— Здѣсь отдается комната?—спросилъ я чиновницу.

— Здѣсь. А вы одинъ?

— Одинъ.

Она повела меня къ дверямъ—противъ кухонныхъ дверей. Комната маленькая съ однимъ окномъ на улицу, грязная, шпалеры ободраны; налѣво дверь, только заперта. Въ комнатѣ валялся какой-то мѣшокъ и стоялъ стулъ въ углу.

— Сколько стоитъ?

— Четыре рубля.

— Тихо у васъ?

— О! Въ этомъ не сомнѣвайтесь.

— Мебели нѣтъ?

— Поставлю. Когда переѣдете?

— Сегодня.

Мы условились за три рубля, и я отдалъ ей задатку рубль серебромъ.

Вечеромъ Андрей Васильевичъ нанялъ мнѣ извозчика за 15 коп. (съ меня просили 40 к.), и мы поѣхали на новую квартиру. Въ моей комнатѣ однако ничего не прибыло: въ какомъ положеніи видѣлъ ее раньше, въ такомъ же она была и теперь.

— Хозяйка дома?—просилъ я ту женщину, которая раньше починивала у окна что-то.

— Дома; да къ ней пришелъ писарь-любовникъ.

— А мебель-то какъ же? Хоть бы чурбанъ что ли.

— Да у нея и чурбаньевъ нѣту, не то что мебели.

Андрей Васильевичъ ушелъ разыскивать хозяйку, но немного погодя я услыхалъ, что онъ кричитъ недалеко отъ кухни. Я пошелъ искать его по корридору, въ который выходили три двери; однѣ въ хозяйскую комнату, другія къ жильцамъ, а третьи въ кухню. Но я не зналъ, гдѣ живетъ хозяйка, и отворилъ двери направо. Комнатка въ два окна, чистая и порядочно меблированная, выходила на дворъ. У окна сидѣли двѣ молодыя женщины, а между ними сидѣлъ Андрей Васильевичъ и что-то говорилъ.

— А, это ты! садись. Это новый жилецъ, вашъ сосѣдъ, — отрекомендовалъ меня Андрей Васильевичъ женщинамъ.

— Пойдемъ же хозяйку разыскивать,—сказалъ я ему.

— Ну, я не пойду. Садись съ нами.

Однако я ушелъ и, отыскавъ хозяйку, спросилъ о мебели.

— Погодите, голубчикъ, завтра; а сегодня и такъ обернитесь.

Женщина, сидѣвшая въ кухнѣ, проворчала мнѣ:

— Ишь, вѣрно любовницу при себѣ держать хочетъ...

— Какъ такъ?

— А такъ. Эти дѣла я ужъ смекнула: онѣ всего-то трои сутки переѣхали. А коли ты ихной любовникъ, я скажу тебѣ: къ нимъ какой-то приказей ходитъ, должно изъ сенату. Одна-та, коя помоложе, шьетъ, а коя постарше, та все рыскаетъ.

«Ну, здѣсь не житье мнѣ,» думалъ я, входя въ свою комнату. Долго я сидѣлъ на окнѣ, повѣся голову и обдумывая свое положеніе, потомъ пошелъ шляться по городу и прошлялся до двухъ часовъ ночи. Много грязи я видѣлъ въ это время на улицахъ, въ трактирахъ и садахъ, устроенныхъ при трактирахъ, и такъ какъ это грязь, то я лучше умолчу объ ней.

Когда я пришелъ домой, въ домѣ, кажется, всѣ спали, потому что ни въ одномъ окнѣ я не замѣтилъ огня, кромѣ лампадки, въ которой горѣло масло передъ иконой въ хозяйкиной комнатѣ. На крыльцѣ и въ сѣняхъ передъ кухней была такая темнота, что я кое-какъ отыскалъ какія-то двери, около которыхъ кто-то спалъ. Сталъ я стучать въ двери, стучалъ долго, такъ что разбудилъ спавшаго человѣка.

— Кто тутъ?—пробурлилъ сердито мужчина.

— Я, жилецъ.

Лежавшій только повернулся на другой бокъ. Опять

я сталъ стучать. Отперли двери, только не эти, а другія. Сказавши, на вопросъ кто тутъ, удовлетворительный отвѣтъ, я вошелъ въ кухню, въ которой было очень темно.

— Какъ вы поздно!—спросилъ женскій голосъ.

— Нельзя ли посвѣтить мнѣ?

Немного погодя, въ кухню вошла дѣвушка лѣтъ 18 въ блузѣ, брюнетка; она постоянно зѣвала, лицо ея было измято. Въ кухнѣ спало четыре человѣка—двое мужчинъ и двѣ женщины. По стѣнамъ, полу и спящимъ гуляло множество таракановъ, черныхъ и красныхъ. Одинъ мужчина спалъ поперекъ двери въ мою комнату. Дѣвица хихикнула.

— Подѣломъ, сидите дома,—сказала она мнѣ.

— Чево еще вы съ огнемъ-то тутъ!—вскричала какая-то женщина, лежавшая у стѣны.

Я пошелъ къ двери; дверь не запиралась и я перешагнулъ черезъ спящаго человѣка; дѣвица тамъ такимъ же образомъ вошла за мной. Свѣчками я еще не запасся; поэтому я радовался даровому освѣщенію. Налѣво, на полу спало двое мужчинъ, повидимому изъ рабочихъ, положивъ подъ головы мой чемоданъ такъ, что онъ былъ въ серединѣ, а они спали врозь угломъ и черезъ одного мнѣ нужно было опять перешагнуть. Это мнѣ не понравилось, да и я боялся, чтобы у меня не украли послѣднее мое достояніе.

— Вотъ и покорно благодарю! — проговорила дѣвица и захохотала.

— Дѣлать нечего, надо ложиться.

— Куда?

— Мѣсто будетъ.

— Отчего они ваши одѣяло и подушку не взяли?

— Оттого, что они, должно быть, не привыкли на мягкомъ спать.

— Какъ же вы на полу-то?

— А они вѣдь спятъ же?

— Вы бы къ намъ шли?—сказала она нерѣшительно.

— Зачѣмъ?

— У насъ лучше: я вамъ свое мѣсто уступлю, на полъ лягу, а сестра не будетъ сегодня.

— Покорно благодарю.—И я занялся приготовленіемъ постели: положилъ на полъ одѣяло, къ стѣнѣ подушку. Швеѣ, какъ она себя рекомендовала во время приготовленія мною ложа, какъ видно, хотѣлось посидѣть у меня, но я ее ловко выпроводилъ. Спать я легъ, не раздѣваясь. Долго я не могъ заснуть не потому, чтобы я кого-нибудь боялся, но меня начинали сильно покусывать клопы и блохи, и я долго обсуждалъ то, что видѣлъ сегодня. Особенно я злился на то, что уѣхалъ изъ Орѣхова, не сообразивши того, какъ я буду жить въ столицѣ, злился на то, что я бѣдный человѣкъ, и рѣшился завтра же искать другую квартиру.

Утромъ человѣкъ пробуждается свѣжій. Онъ больше можетъ сообразить вещи; впечатлѣнія становятся болѣе ясными, чѣмъ вчера, и то, что вчера вечеромъ не нравилось, теперь кажется вещью возможною и человѣкъ смотритъ на все снисходительно. Такъ и теперь мнѣ хотѣлось пожить съ бѣдными людьми и узнать, что такое провинціалъ, бѣдный провинціалъ въ Петербургѣ: достигаетъ ли онъ своихъ цѣлей и почему ему нравится жить именно въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ, Нижнемъ или у себя дома? Эта мысль приходила мнѣ въ голову, когда я ѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Петербургъ, и народу ѣхало очень много; потомъ я каждый день со скуки ходилъ на желѣзную дорогу по четыре раза въ сутки и удивлялся, что сколько пріѣдетъ людей въ Петербургъ, почти столько же отправляется изъ него и въ Москву, но простого народа въ Москву ѣдетъ не много. Вставать не хотѣлось. Я еще лежалъ лицомъ къ стѣнѣ и слышалъ разговоры сидѣвшихъ или лежавшихъ мужчинъ въ моей комнатѣ.

— ...Ну ихъ къ чертямъ! На фабрикѣ, али какъ-нибудь лучше, потому недѣлю отробилъ, праздникъ гуляй и понедѣльникъ гуляй. А извозчикъ што?.. Вонъ я знаю, къ Петрову въ кабакъ ходитъ Митюха, такъ проклинаетъ-проклинаетъ свою жизнь — бѣда, говоритъ. Лошадь своя—да корма-те нонѣ дороги, одному невыгодно фатеру нанимать, ну и пошелъ въ подрядъ къ Сенькѣ Гуляеву.

— Мой братъ по рублю въ день всегда наживетъ,—сказалъ другой вошедшій мужчина.

— Ну, поди, не всегда. А ты по какимъ ремесламъ-то?

— Столярю у Якова Карпова.

— Такъ.

— А тотъ, ишь кубаремъ-то свернулся, изъ вашихъ?—спросилъ пришедшій.

— Нѣтъ. Ночью, сказываютъ, прибѣгъ пьяный.

— Приказный, поди, какой.

— А Богъ его знаетъ!..

Я перевернулся и сѣлъ на свою постель.

— Што, жестко спать-то?—спросилъ меня одинъ изъ рабочихъ съ клинообразной рыжей бородой.

— Я привыкъ.

— Приказный, чай?

— Что дѣлать, дядюшка!

Рабочіе стали одѣваться.

— А ты вотъ что... Не знаю, какъ те звать, величать, не напишешь ли грамотку во Псковску губерню: жена тамъ съ робятами,—сказалъ другой рабочій, низенькій ростомъ, карявый.

— Ладно,—сказалъ я.

— Ты не думай, чтобы даромъ: денегъ дамъ, угощу.

— Я и такъ напишу.

— Ну братъ, мы знамъ, какъ ваша-то братья живетъ. А ты отколева?

— Изъ Орѣхова.

— Слыхалъ. Изъ той губерніи недавно со мной робилъ одинъ, сказывалъ—дряное тамъ житье-то... Такъ насчетъ грамотки-то можно?

— Можно.

Одинъ изъ рабочихъ накинулъ на себя зипунъ, другой поддевку, оба надѣли по фуражкѣ, одинъ взялъ молотокъ, надѣлъ на плечи узелокъ съ пожитками, другой тоже надѣлъ узелокъ; столяръ облачился въ поддевку, накинулъ фартукъ, а съ собой ничего не взялъ. Они ушли.

Когда я вошелъ въ кухню, мужчинъ тамъ уже не

было, только двѣ женщины пили кофей розно. Обѣ онѣ поглядѣли на меня косо.

— А гдѣ бы мнѣ умыться?—спросилъ я женщинъ.

— Умыться-то у насъ негдѣ: изо рта умываемся.

— Какъ такъ?

— Зачерпнемъ чайной чашкой изъ кадки... такъ и моемся.

Я такъ и мылся. Когда я умывался, женщина помоложе, которой вчера не было въ кухнѣ, объясняла мнѣ:

— Мы воду-то отъ водовоза покупаемъ по гривнѣ за ведро, да хозяйка, паскудная, воруетъ.

— Откуда же вода-то?

— Съ канавы. Съ Невы-то далеко, ну и покупаемъ у такихъ—дешевле.

Воду противно было пить, въ ней было много сору.

— А ты какъ здѣсь живешь?

— А столяръ мой мужъ, а другой-то ейной,— и она указала на другую женщину.

— Много у нашей хозяйки жильцовъ?

— Въ той половинѣ двѣ дѣвки живутъ, да съ того крыльца чиновникъ съ содержанкой живетъ.

— Дорого беретъ хозяйка?

— Съ чиновника шесть рублей, съ дѣвокъ четыре, да съ насъ по рублю,—значитъ, съ одного по полтиннику приходитъ; а тѣ мужики, что съ вами спали, не знаю, сколько платятъ, потому вчера пущены.

— А вы чѣмъ занимаетесь?

— Яблоками да ягодами торгую. Да край-то здѣсь дрянной: когда четвертакъ выторгуешь, особливо, въ праздникъ, а то и пятака расколотаго не пріобрѣтешь.

Пришла въ кухню хозяйка; отъ нея сильно разило водкой.

— Хозяюшка, я не одинъ буду жить въ комнатѣ? —спросилъ я ее, утираясь полотенцемъ.

— Что жъ такое? они только ночевать приходятъ.

— А въ праздникъ?

— Это ужъ мое дѣло. Нравится квартира—живи, не нравится—въ Петербургѣ много квартиръ. А ты мнѣ паспортъ свой подай, да деньги за мѣсяцъ. Я ушелъ въ комнату, а хозяйка закричала на торговку:

— Зачѣмъ ты ему воду даешь?

— А чья вода-то—не моя, что ли?

— Молчать!

— Сама молчи, паскуда! пьяница эдакая...

— Ахъ ты!.. вонъ съ моей квартиры!

— И уйду!.. Ты напередъ деньги заплати, что за яблоки должна.

— Какіе яблоки?!

— Ахъ ты!..

Пошла ругань; присоединилась еще третья женщина; бабы раскричались и попрекали другъ дружку, чѣмъ только могли. Наконецъ хозяйка ударила торговку по щекѣ. Торговка вошла ко мнѣ въ такой ажитаціи, что мнѣ жалко ее стало, но на лицѣ ея выражалась какая-то радость.

— Вотъ!.. вотъ!.. Плюху отъ паскуды не пито не ѣдено получила... Она убьетъ меня и васъ убьетъ... Я васъ во свидѣтели ставлю.

И она убѣжала на улицу. Немного погодя, она пришла съ городовымъ, который велъ себя, какъ важное лицо, еле двигался, на все смотрѣлъ флегматически, какъ будто думалъ: «мы эти штуки на каждомъ часу видаемъ». Онъ отправился прямо къ хозяйкѣ. Сквозь дверь въ моей комнатѣ, рядомъ съ хозяйской, я могъ слышать даже шопотъ.

— Ты опять!—сказалъ городовой.

— Кузьма Сидорычъ! я способиться не могу съ ними.

— А зачѣмъ бьешь? Вѣдь она бой-баба, къ самому частному пойдетъ.

— Выгони ты ее! Денегъ ужъ вотъ сколько не платитъ...

— Врешь! врешь, паскуда!—закричала торговка, услыхавшая эти слова, и ворвалась въ комнату хозяйки, но городовой прогналъ ее.

Зазвенѣли деньги; городовой вышелъ въ кухню.

— Ты, баба, не буянь, въ кварталъ представлю,—сказалъ онъ мимоходомъ торговкѣ.

— Ну, и представляй! Я не воровка какая-нибудь.

— Ну, ну, не разговаривай!

Городовой вышелъ. Послѣ этого женщина, поругавшись съ хозяйкой, скоро ушла.

Нужно мнѣ было достать изъ чемодана дневникъ, но такъ какъ онъ былъ далеко, то пришлось вынимать почти всѣ тетрадки, книги, бѣлье и сюртуки. Повѣсить сюртуки, пальто и шинель было некуда, потому что нужно было еще купить гвоздей, да и вѣшать неудобно, потому что утащатъ, и тогда я долженъ буду ходить на службу въ рубашкѣ. Вообще я трусилъ за всѣ мои вещи, за все мое движимое имущество; особенно дороги были для меня тетрадки, которыя могли очень легко попасть въ мелочную лавочку, гдѣ ихъ употребятъ на обертки. Перебирая и размышляя такимъ образомъ, я вдругъ увидалъ въ дверяхъ женщину, съ которой я разговаривалъ вчера. Она очень пріятно глядѣла на меня и на мое имущество, разбросанное по полу.

— Это все ваше?—спросила она какъ-то глуповато.

— А что?

— То-то. Я все смотрю: вещей-то у васъ много. Вы по какой части?

Я сказалъ. Она подошла ко мнѣ ближе.

— Не пособить ли вамъ?

— Нѣтъ... Мнѣ нечего же дѣлать.

— Я такъ... Мнѣ тоже нечего дѣлать... А не то я пособлю...—и она умильно поглядѣла на меня, потомъ заговорила: — Одиннадцатый годъ маюсь я здѣсь-то; изъ Михайловскаго села, Костромской губерніи, пріѣхала съ мужемъ сапожникомъ; да не долго маялась съ нимъ—померъ скоро. Ну, и стала искать работы, домой неохота... Сватался за меня подмастерье одинъ; я тогда красивая, молодая была. Не пошла. Думаю—сама себя прокормлю. Ну и попала сначала въ кухарки, въ хорошее семейство; годъ выжила; четыре съ полтиной получала на всемъ на готовомъ... Потомъ хозяева уѣхали, кажись, въ Пермскую губернію, далеко куда-то. Звали, да куда

я въ экую даль поѣду... Съ тѣхъ поръ мѣстовъ много перепробовала. Дрянно. Теперь вотъ двѣ недѣли безъ мѣста, послѣдніе гроши проѣдаю... Въ прачки думаю наняться... А вамъ не сходить ли зачѣмъ-нибудь въ лавочку?

Я поблагодарилъ ее и отказался отъ услугъ, потому что я понялъ: ей хотѣлось получить отъ меня что-нибудь.

Пошелъ въ департаментъ и пришелъ такъ рано, что въ немъ, кромѣ сторожей, еще никого не было. Здѣсь я чувствовалъ то же самое, что чувствуетъ новичекъ въ училищѣ. Сѣлъ я въ дежурной, разговорился съ чиновникомъ, онъ послалъ меня въ отдѣленіе. Сѣлъ я къ окну и сталъ думать. Скучно, страшно скучно сдѣлалось; хотѣлось заниматься, переписывать, и много бы я переписалъ, и такъ бы переписалъ, что удивилъ бы всѣхъ своимъ стараніемъ... Вотъ начали проходить мимо меня чиновники: сначала одинъ, потомъ еще одинъ, и все больше и больше прибывали; заскрипѣли сапоги, задвигались стулья, что-то стучало, закашляли, заговорили, засмѣялись—и начался въ департаментѣ гулъ, появилось чиновниковъ много, запахло тяжелѣе, и куда дѣлась эта мертвая тишина! Департаментъ принялъ видъ школы, только школьники были чиновники, сидѣвшіе серьезно за столами по три человѣка и больше за каждымъ. Всѣ они какъ будто никого не боятся, толкуютъ свободно, о чемъ попало, смѣются другъ надъ другомъ. Но вотъ приходитъ помощникъ столоначальника; половина писцовъ ему кланяется, половинѣ онъ подаетъ руку, остритъ надъ кѣмъ-нибудь, считая, что онъ тоже начальство. Онъ отпираетъ шкафы и даетъ работу писцамъ. Заскрипѣли перья, но не вездѣ; многіе ходили, говорили, собравшись въ кучку,—читали газеты. Пришелъ наконецъ одинъ лысый, худой, высокій и некрасивый чиновникъ, котораго компанія тотчасъ подняла на смѣхъ. Онъ подошелъ къ помощнику столоначальника, Петру Васильичу, и протянулъ ему руку, тотъ ударилъ его по лысинѣ. Онъ выругался и сѣлъ на свое мѣсто. Положивъ обѣ руки на столъ и нюхнувъ воздухъ, онъ досталъ изъ стола бумаги съ подкладкой, посмотрѣлъ правымъ глазомъ на бумагу такъ близко, какъ пѣтухи смотрятъ, что въ немъ изобличало близорукость, еще повернулъ, поглядѣлъ такъ же и, положивъ на столъ, взялъ простое перо, такъ же поглядѣлъ на него и сталъ чинить. Очинивъ перо, онъ попробовалъ его и, положивъ на столъ, вытащилъ изъ кармана сюртука пеклеванную булку и сталъ кушать, пройдясь къ другому столу.

— Жеребенокъ!—сказалъ одинъ чиновникъ.

Двое чиновниковъ захохотали.

Пришелъ какой-то гладенькій чиновникъ. Его прозвали канарейкой. Жеребенокъ называлъ его Соловьевымъ. Онъ сталъ смѣяться надъ Жеребенкомъ, называя его Дворянчиковымъ.

— Маменькинъ сынокъ! нахапалъ денегъ-то.

Дворянчикову вѣроятно было обидно и онъ, сѣвъ на свое мѣсто, сказалъ: «скотина! блюдолизъ!». Глаза его больше прежняго покраснѣли, на лицѣ выступили красныя пятна.

— Господинъ... какъ васъ?.. вы не связывайтесь съ этими скотами,—сказалъ онъ мнѣ, и сталъ выводить на черновой бумагѣ отъ нечего дѣлать: департаментъ, его превосходительство и т. п.

Собрались всѣ чиновники, кромѣ столоначальниковъ, и наше отдѣленіе было похоже на гимназическій классъ, потому что чиновники, семейные люди, походили своими шутками, остротами и выходками вполнѣ на гимназистовъ; молодые, недавно служащіе писцы, еще не чиновники, или переписывали, или, молча слушая товарищей, улыбались. Они учились развязности.

Занятіе мое было легкое: я переписывалъ съ предписанія копію или писалъ отпускъ къ дѣлу. Другіе, почище меня почеркомъ, тоже переписывали съ черновыхъ, написанныхъ карандашомъ, предписанія. Наконецъ пришли и столоначальники; они поздоровались съ помощниками да съ двумя писцами, а прочихъ удостоили кивками головъ. Послѣ всѣхъ ихъ пришелъ Черемухинъ. Всѣ встаютъ съ мѣстъ и кланяются, а Черемухинъ дѣлаетъ два кивка головой, мимоходомъ протягиваетъ два пальца столоначальникамъ и зоветъ помощниковъ. Въ отдѣленіи стихаетъ говоръ; каждый старается сдѣлать видъ, что онъ занимается...

Въ первый же день службы я узналъ отъ служащихъ, что Черемухинъ въ высшей степени казенный формалистъ, старающійся во всемъ быть аккуратнымъ человѣкомъ, что вся жизнь его заведена по часамъ, такъ что у него сутки распредѣлены на разные роды занятій; у него опредѣлено: когда вставать, когда чай пить, когда читать, писать бумаги, когда любезничать съ женой, дѣтьми, когда устраивать вечера. Узналъ я также, что онъ очень самолюбивъ и честолюбивъ, и никогда не уничтожитъ лоскутка бумаги, на которомъ онъ что-нибудь сочинилъ, и эти лоскутки у него хранятся въ особой комнатѣ, которая вся загромождена его твореніями. Впрочемъ, говорили, что его понять довольно трудно,—что онъ за человѣкъ. Мнѣ же съ перваго раза бросилась въ глаза его формалистика.—Сторожъ приноситъ ему письмо.

— Откуда?

— Изъ города какова-то, в. п-ство.

— Сколько за мной?

— За пять писемъ—двадцать пять, в. п-ство.

— Какъ, за пять?

— Точно такъ-съ, в. п-ство.

Журналистъ принесъ ему вѣдомость о бумагахъ, выпущенныхъ въ эту недѣлю, и о числѣ разной бумаги, издержанной тоже въ эту недѣлю.

— Господа,—обратился онъ къ чиновникамъ,—не марайте много бумаги! Я на счетъ поставлю... Отчего вы гусиными перьями не пишете?

Всѣ молчали. Каждый какъ будто боится вызова, точно первоклассный гимназистъ, каждый боится директора.

Отправляли какое-то дѣло.

— Михайло Алексѣичъ, принесите мнѣ полшалки сургучу, большой конвертъ... печать... бичевку...—говорилъ онъ съ разстановкой журналисту. Тотъ

приноситъ и кладетъ все это на столъ. Черемухинъ подзываетъ къ себѣ журналиста, писца и помощника столоначальника.

— Петръ Васильевичъ, держите конвертъ.

Петръ Васильевичъ держитъ конвертъ.

— Цѣлъ?

— Точно такъ, в. п-ство.

Обвязываетъ Черемухинъ дѣло бичевкой, прикладываетъ печать и кажетъ окружающимъ его тремъ человѣкамъ.

— Хороша печать?

— Хороша.

— Держите конвертъ.

И Черемухинъ самъ всовываетъ дѣло въ конвертъ, запечатываетъ его, обвязываетъ бичевкой, печатаетъ, кажетъ при этомъ то журналисту, то помощнику столоначальника и самъ отдаетъ дѣло съ относной курьеру.

Уже шестой часъ, а Черемухинъ все копается; онъ сначала все уходилъ то къ директору, то терся въ другихъ отдѣленіяхъ, теперь онъ началъ писать какія-то письма и между тѣмъ отдавалъ приказанія помощникамъ. Столоначальники уже давно ушли, а писцы идти не смѣютъ. Дѣлать имъ нечего, хочется имъ ѣсть, идти нельзя, они и шепчутся громко: «экъ его разсидѣлся!» Недовольство выражается все громче и громче, и это, кажется, надоѣдаетъ Черемухину,—онъ возглашаетъ:

— А! кому нечего дѣлать, можетъ идти. Только вы,—говоритъ онъ помощникамъ и журналисту,—останьтесь, да по писцу изъ стола оставьте...

Пошелъ я обѣдать въ харчевню, въ которой, какъ мнѣ сказывали, порція щей стоитъ три копѣйки. Харчевню составляютъ три небольшія комнаты, въ одной шесть столовъ, а въ двухъ по три. Въ той комнатѣ, въ которую я вошелъ, было шесть человѣкъ, кромѣ меня: за однимъ столомъ обѣдали четыре извозчика, за другимъ какой-то человѣкъ въ шинели, вѣроятно чиновникъ, съ мальчикомъ. Я спросилъ щей и жаркого. Щи, по случаю середы, сегодня не полагались, а вмѣсто нихъ принесли уху и жаркое изъ какой-то рыбы. Хлѣба можно было купить тутъ же. Извозчики толковали о своихъ дѣлахъ, и передъ ними на столѣ стояли двѣ осьмушки. Въ остальныхъ комнатахъ говорили громко, ругались—это были все рабочіе люди, за исключеніемъ развѣ чиновника, котораго по его бѣдному наряду, впрочемъ не считали за чиновника.

Уха оказалась дрянною: накладены какіе-то кости, вода съ пескомъ, пахнетъ саломъ; жаркое, состоящее изъ двухъ черненькихъ маленькихъ рыбокъ, тоже пахнетъ свѣчнымъ саломъ. Чиновникъ жаркого не бралъ, а взялъ двѣ порціи ухи, набивая ею свой и своего сына животы пополамъ съ чернымъ хлѣбомъ. По непривычкѣ я не могъ хлебать уху и ѣсть жаркое, а ѣлъ хлѣбъ съ солью.

— Вы вѣрно въ первый разъ здѣсь?—спросилъ меня чиновникъ.

— Да.

— Ѣсть можно, дешево.

Пошелъ я въ трактиръ, а попалъ въ портерную.

— Пивка прикажете: бѣлаго, или чернаго?—спросилъ меня сидѣлецъ, съ краснымъ лицомъ, не молодой.

— А можно у васъ получить пирогъ съ мясомъ?

— Можно. Прикажете бутылочку?

— Я не пью пиво. Водки пожалуй выпью.

Заказавъ мнѣ пирогъ, онъ сталъ просить меня, чтобы я его угостилъ пивомъ. Я такъ и сдѣлалъ. За пивомъ онъ мнѣ сказалъ, что онъ хозяинъ харчевни и портерной, что прибыли здѣсь нѣтъ, даже отъ харчевни мало выгоды; кутилы сюда почти не заглядываютъ, потому что трактиръ и портерная съ харчевней находятся не на видномъ мѣстѣ. «Вы не повѣрите,—разсказывалъ онъ мнѣ:—я да зять наняли сообща, я здѣсь три комнаты за тридцать пять рублей въ мѣсяцъ, онъ во второмъ этажѣ шесть комнатъ за шестьдесятъ пять руб., на свой счетъ меблировали, покрасили, занавѣски повѣсили, капиталу одного двѣ тысячи серебряныхъ затратили, да эти свидѣтельства чего стоятъ! А ужъ полгода, какъ мы здѣсь торгуемъ, хошь бы грошъ выручили. Ужъ стараемся и такъ, и сякъ, а пользы нѣтъ. Иной день и никто не зайдетъ. Въ трактиръ ходятъ, да въ праздники... Хотѣлъ я бильярдъ здѣсь устроить, да зять говоритъ—отобьешь отъ меня гроши... Теперь хочу постоялый дворъ завести. Потрачу еще двѣсти рублей, авось и поправлюсь»...

На прощанье онъ еще стянулъ съ меня бутылку пива и попросилъ посѣщать его почаще.

Между тѣмъ капиталъ мой убывалъ замѣтно. Дорогой, сосчитавши деньги, я съ ужасомъ узналъ, что у меня всего ихъ только 5 р. 28 к. Сталъ я ворочать мозгами, какъ бы жить такъ, чтобы денегъ не тратить? Но сообразивъ, что вездѣ лупятъ большія цѣны, я шелъ какъ помѣшанный и рѣшилъ завтра же продать свой хорошій неформенный сюртукъ, который въ Орѣховѣ стоялъ мнѣ пятнадцать рублей.

Хозяйка была уже пьяная и опять ругалась съ жиличкой въ кухнѣ; чиновникъ, жившій съ содержанкой, праздновалъ свои именины, и потому въ его комнатѣ происходило веселіе веліе. Хватился сюртука, на который я хотѣлъ еще взглянуть въ послѣдній разъ и посовѣтоваться съ жиличкой, куда бы его продать, сюртука въ чемоданѣ не оказалось, а замокъ запертъ сомнительно. Объявилъ я свою претензію хозяйкѣ, она закричала:

— Извольте убираться! очищайте комнату.

Такое предложеніе мнѣ было сказано въ первый разъ въ жизни, и я возмутился, но промолчалъ. Вечеромъ у нея былъ гость, какой-то унтеръ-офицеръ. Онъ пришелъ пьяный и за что-то билъ хозяйку, которая ругалась, плакала и причитала: «ты подлецъ! ты мою душу загубилъ, подлый человѣкъ!»... Унтеръ тоже ругался и плакалъ, приговаривая: «ты не любишь меня, собака! я въ гробъ вколочу твою подлую душу»... и все-таки они послѣ этого затихали и цѣловались. Пришли рабочіе въ кухню и въ мою комнату. Пришли они уже выпивши. Долго они ругались, потомъ запѣли всѣ въ разъ: «не вчерась ли я гуляла», но выходило нескладно. Потомъ они долго калякали о своихъ дѣлахъ, ругались и вообще обра-

щались другъ съ другомъ безъ церемоніи, а одинъ такъ чуть драку не затѣялъ. Со мной обращались тоже попросту, просили полштофа водки, но я отказался, они обругали меня и скоро заснули. Они легли спать опять по вчерашнему; только мои товарищи, спящіе въ комнатѣ, положили подъ головы свои узелки.

И я легъ спать, но долго не могъ заснуть. Рабочіе храпѣли, но хозяйка все еще ругалась, уже охриплымъ голосомъ, и, казалось, была очень пьяна. Слышно было, что унтеръ говорилъ несвязно: «ты сви-нья! ты до-бродѣт... не чувствуешь... Да!»

— Спи, пьяница.

— Я тебѣ покажу!.. покажу...

Вдругъ что-то грохнуло, не у хозяйки, гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, но изъ хозяйской комнаты слышались только глухія ворчанья... слышался гдѣ-то свистъ, кажется отворяли ворота... гдѣ-то скрипѣли двери... Страшно мнѣ сдѣлалось въ этой берлогѣ, долго я не могъ заснуть и заснулъ только къ утру.

Мнѣ хотѣлось жить въ каменномъ домѣ. «Чѣмъ выше, думалъ я, тѣмъ воздухъ чище». Долго я бродилъ по разнымъ переулкамъ и наконецъ въ одномъ изъ нихъ увидалъ бумажку съ надписью, что отдается комната съ мебелью. Дворника не оказалось. Вышла съ крыльца немолодая женщина, которая рекомендовала мнѣ хозяина за хорошаго человѣка. Въ этомъ деревянномъ домѣ-флигелѣ была питейная лавочка, въ которой торговалъ хозяинъ флигеля, т. е. квартирный хозяинъ. Онъ былъ молодой человѣкъ, и когда я вошелъ въ лавочку, читалъ «Сынъ Отечества». Со мной онъ обошелся любезно, говоря скоро:—«Комната для васъ будетъ оченно хорошая-съ и по мѣсту довольно дешевая-съ»,—точно какъ будто онъ продавалъ мнѣ водку или какія-нибудь вещи. Я разсказалъ ему про неудобства моей старой квартиры, онъ принялъ во мнѣ участіе:

— Помилуйте-съ, какъ можно жить въ такой квартирѣ! Это настоящіе мазурики, они обокрадутъ васъ. А у меня жильцы всѣ хорошіе; насчетъ спокою можете не сумнѣваться.

Онъ повелъ меня показывать комнату черезъ питейную лавочку, заставивъ свою жену Агафью Егоровну сидѣть вмѣсто него въ лавкѣ.

Вошли мы въ кухню. Тамъ запахло кожей, сыростью, табакомъ и еще чѣмъ-то кислымъ. У окошка сидѣло двое мужчинъ, одинъ хромой, съ начинающими сѣдѣть волосами, безъ бороды, но съ небритымъ лицомъ; другой походилъ на нѣмца или скорѣе на финляндца. Не вставая, они проговорили хозяину: «А Андрей Петровичъ, какъ васъ Богъ милуетъ?.. Что, комнату отдавать? дѣло!»

Мы пошли дальше. Наконецъ вотъ и комнатка съ однимъ окномъ и еще двери куда-то. Она была хотя и небольшая, но совершенно отдѣльная, свѣтлая, недавно оклеенная обоями.

— Вотъ-съ комната!—сказалъ хозяинъ, вздохнувъ и какъ будто желая увѣрить меня, что товаръ на лицо, и онъ сознаетъ, что лучше этого товару вы нигдѣ не сыщете.—А это чердакъ. Тутъ вы, когда будетъ жарко, спать можете,—прибавилъ онъ, показывая мнѣ чердакъ.

— Въ ней никто не будетъ жить?

— Какъ можно-съ!

— Сколько вы возьмете?

— Безъ лишняго пять рублей! Вамъ и самоваръ сюда будемъ носить.

Мы порѣшили на четырехъ рубляхъ. Два рубля я далъ задатку, хозяинъ принесъ мнѣ кровать, столъ и три стула. Скоро я переѣхалъ.

Послѣ занятій въ департаментѣ я, напившись чаю и закусивши чернымъ хлѣбомъ, короче познакомился съ хозяиномъ. Онъ поставилъ мнѣ въ кабакѣ осьмушку вишневки и сказалъ, что онъ московскій мѣщанинъ, квартиру-флигель нанимаетъ за 350 руб. въ годъ.

— А много у васъ всего жильцовъ?

— Да есть-таки. Только народъ-то рабочій, бѣдный. Больше водкой забираютъ.

Приходили въ кабакъ покупатели. Всѣ они знали моего хозяина и онъ со всѣми ими былъ очень вѣжливъ, такъ что я удивился, замѣтивъ въ хозяинѣ кабака и въ квартирномъ хозяинѣ вѣжливаго и простого человѣка, котораго, какъ видно, всѣ уважаютъ.

— Главное, не нужно заѣдаться съ людьми: всякіе есть. Нужно такъ дѣлать, чтобы всѣхъ удовлетворить. А безъ этого ничего не подѣлаешь.

— Есть ли выгода?

— Какая выгода! Съ квартиры ровно ничего. Вѣдь и здѣсь я только съ женой торгую. А то ежели мальчика держать, такъ надо платить шесть или больше рублей, кормить, да сколько еще водки выдуетъ. И тутъ пользы мало, потому много развелось нашего брата.

Приходили жильцы и жилички за водкой, и онъ отпускалъ имъ въ долгъ на книжку, причемъ шутилъ съ ними въ родѣ слѣдующаго:

— Смотри, Семенычъ, коли не заплатишь, вѣрить не стану я твоему красному носу.

— Ужъ ты не говори! право слово отдамъ.

— То-то! ишь, губы-то въ яицахъ выпачкалъ.

— Поди ты! съ Пасхи въ ротъ не биралъ.— Хозяинъ хохочетъ, а Семенычъ идетъ къ зеркалу.

Въ кабакѣ было зеркало и разныя картинки, прилагаемыя при воскресныхъ нумерахъ «Сына Отечества».

Хозяинъ понравился мнѣ за свою простоту, и я думалъ, что я теперь заживу ладно. Но на душѣ было невесело. Денегъ осталось уже 2 р. 13 к., а я вотъ уже полторы недѣли не хлебалъ щей, не ѣлъ мяса. Покупалъ я молоко, но молоко черезъ шесть часовъ претворялось въ творогъ. На службѣ не было ничего особеннаго, квартира тоже ничего, сосѣди хотя и говорили громко, пѣли, хохотали, но все-таки я читалъ. Только по вечерамъ въ кабакѣ пѣли пѣсни рабочіе очень пронзительно, потому что кабакъ былъ подо мной, и плясали такъ, что домъ трясся. Заходилъ ко мнѣ и первый хозяинъ Андрей Васильевичъ. Онъ сначала пилъ водку на мой счетъ, а потомъ какъ узналъ, что до конца мѣсяца еще недѣля, то и самъ покупалъ водки. Онъ просилъ меня пить, я пилъ и не чувствовалъ, какъ засыпалъ. Славно спалось; въ это время я ничего не чувство-

валъ, даже во снѣ ничего не видѣлъ, только утромъ болѣла голова, но я не могъ пить водку утромъ. За то вечеромъ я выпивалъ по осьмушкѣ, чтобы уснуть скорѣе: иначе я вплоть до шестого часу не могъ уснуть отъ блохъ и клоповъ, на которыхъ не дѣйствовали никакіе персидскіе порошки и ромашки.

Меня очень полюбилъ одинъ сапожникъ — похожій на нѣмца, Филатъ Никитичъ. Приходитъ онъ ко мнѣ утромъ и говоритъ:

— Извините, м. г., что я побезпокоилъ васъ.

— Мнѣ очень пріятно,—отвѣчалъ я.

— Хорошо ли почивали?

— Хорошо. Вчера чуть блохи не съѣли.

На это онъ замѣчалъ всяко, разъ замѣтилъ: «Ну, этого не бываетъ. Только вѣдь римскаго царя какого-то вши съѣли... Одолжите папироску... Я васъ не безпокою? Приходите къ намъ покалякать... Не принести ли вамъ самоварчикъ?»

Онъ всегда ради папироски, ради рюмки водки навязывался на какое-нибудь дѣло: то сапоги вычистить, то въ лавочку сходить и т. п. Но я все это дѣлалъ самъ.

А къ половинѣ мѣсяца денегъ у меня не стало ни копѣйки. Какъ быть? Ѣсть хочется, денегъ нѣтъ, а однимъ чаемъ сытъ не будешь. Хорошо еще, мнѣ вѣрила торговка Акулина, которая жила у хозяина: она мнѣ давала булки, черный хлѣбъ, огурцы и яйца въ долгъ.

Прислуги у хозяина для жильцовъ не было, а Акулина, ужъ неизвѣстно почему, часто приносила въ мою комнату самоваръ. Эта женщина играла у хозяина роль, а именно торговала въ кабакѣ булками, чернымъ хлѣбомъ, огурцами, яйцами и проч. Она хозяину ничего не платила за квартиру, и все-таки хозяину выгодно было держать ее. Дозволяя ей торговать въ лавочкѣ безплатно, хозяинъ имѣлъ больше посѣтителей, которые, закусывая, больше пили водки; значитъ, хозяинъ посредствомъ торговли имѣлъ больше барыша, чѣмъ торговцы другихъ кабаковъ, неимѣющіе права отпускать посѣтителямъ ничего изъ съѣстного, кромѣ сухарей. Хозяинъ въ этомъ случаѣ умѣлъ ладить съ городовымъ, который аккуратно приходилъ къ нему за выпивкой утромъ и вечеромъ и потому не обращалъ вниманія на торговку, которая на лицо имѣла только булки и огурцы, а въ кухнѣ держала папиросы изъ миллеровскаго табаку, которыя она продавала по одной коп. за штуку. Для мелочной торговли на улицѣ ей нужно было взять билетъ изъ думы въ полтора рубля за годъ. Кромѣ этого она была у хозяина что-то въ родѣ слуги: мыла и мела полы, шила бѣлье, помогала стряпать хозяйкѣ, и за это ее кормили, поили чаемъ и она такъ привыкла къ хозяевамъ, что ни за что не хотѣла отойти отъ нихъ.

Въ первые дни на этой квартирѣ меня заинтересовало, кто живетъ въ сосѣдней со мной комнатѣ. Хозяинъ говорилъ, что тамъ живетъ какой-то бѣдный пріѣзжій отставной чиновникъ. Этого чиновника я не видалъ, а только слышалъ, что за стѣной кто-то играетъ на гитарѣ; «во саду ли въ огородѣ дѣвица гуляла». Разъ я былъ въ кухнѣ и толковалъ о чемъ-то съ сапожниками. Вдругъ изъ сосѣдней со мной комнаты послышалась игра на гитарѣ.

— Чортъ ее подери, эту жизнь поганую!.. Непремѣнно куплю себѣ гитару,—сказалъ хромой сапожникъ Семенъ Васильевичъ.

— Ну, братъ, тебѣ гитары не купить, потому что ты пьяница, что называется, первый сортъ. Есть деньги—въ кабакъ, нѣтъ денегъ—ходишь съ пустымъ животомъ и жалуешься: «ой, въ животѣ вѣтры ходятъ!»... Туда же, безмозглая голова, гитару захотѣлъ.

— Не я одинъ пьяница на бѣломъ свѣтѣ: пью на свои деньги. Да ты скажи, кто нынѣ не пьетъ-то?

— Все-таки гитару ты пропьешь въ первый же вечеръ.

— А хоть бы и такъ... Вотъ теперь этотъ чиновникъ! Вчера я весь день просидѣлъ дома нарочно, все хотѣлъ выждать: пойдетъ чиновникъ со двора, или нѣтъ; думаю: голодъ не тетка, побѣжитъ въ лавочку за чѣмъ-нибудь... Ну, что жъ бы ты думалъ?.. Все сидѣлъ дома да тренькалъ на гитарѣ. Такъ и прошло до вечера. Смотрю, огонь у него въ комнатѣ; ну, я и пошелъ къ нему изъ любопытства, и предлогъ нашелъ: свѣчку взялъ съ собой засвѣтить, знаешь... Вхожу, а онъ пишетъ. Здравствуйте говорю, м. г., извините, что побезпокоилъ.—Ничего, говоритъ, покорнѣйше прошу садиться: папиросочки не желаете ли?—Нѣтъ, говорю, не нужно. Я засвѣтилъ свѣчку и говорю: все-то вы, м. г., дома сидите, хоть бы провѣтрились.—Некогда, говоритъ, все пишу.—А позвольте полюбопытствовать, говорю, что вы пишите?—Сочиняю, говоритъ.—Ну, не понимаю я, что онъ тамъ сочиняетъ; только говорю: вы, поди, еще сегодня не кушали?—Вчерашній, говоритъ, хлѣбъ доѣлъ. Сытъ.—Только спрашиваю: на что же вы это пишите? вѣдь вы не служите?—А для того, говоритъ, чтобы въ книгахъ печатали; за это, говоритъ, деньги платятъ.—Ну ужъ, это онъ прихвастываетъ. Потому какъ бы деньги были, не жилъ бы такъ.

— Ну, а сегодня уходилъ?

— Уходилъ. Часа три или четыре не было дома. Приходитъ; я спрашиваю: гулять изволили?—Сочиненіе, говоритъ, снесъ, да хозяина не засталъ дома. Мошенники, говоритъ, этотъ народъ, не принимаютъ меня, потому что я бѣдный, провинціалъ.—Злой такой. Виномъ пахло... Все спалъ послѣ этого.

Я разсказалъ сапожникамъ процессъ сочиненія и какая бываетъ отъ этого польза сочинителямъ; сапожники плохо вѣрили и отозвались такъ: «конечно человѣкъ умный все можетъ написать; а вонъ нашъ братъ и письмо начнетъ писать, такъ недѣлю собирается да двѣ пишетъ. Ну, да мы, не обучены. Только какъ же это: сидитъ онъ дома; ну, пишетъ, положимъ, ну, ему за это деньги платятъ?.. Вотъ если бы онъ сапоги шилъ, али бы платье, то видно бы было, что онъ работаетъ, а то пишетъ— и что онъ пишетъ? По крайней мѣрѣ мы не знаемъ, какая кому польза отъ его писанія»...

Въ это время вышелъ изъ комнаты молодой человѣкъ, въ сѣромъ пальто, развязный. Видно было, что онъ недавно всталъ.

— А, мое почтеніе, м. г.!—сказалъ Филатъ Никитичъ и протянулъ ему руку. Чиновникъ кивнулъ намъ головой; мнѣ онъ руки не протянулъ.

— Все шьете?—спросилъ любезно чиновникъ Семена Васильевича.

— Нельзя, м. г., по маленьку ковыряемъ, гроши собираемъ, авось дѣтишкамъ на молочнишко вышьемъ,—сказалъ Филатъ Никитичъ.

— Вы, я слышалъ, не здѣшніе? — спросилъ меня чиновникъ.

— Я изъ Орѣхова.

— Очень пріятно. Мы чуть-чуть съ вами не земляки; я изъ Толокнинской губерніи...—и онъ протянулъ мнѣ свою руку.—Вы на службѣ?

— Да, просвѣщаться пріѣхалъ.

— Вотъ это умно вы сказали,—отнесся ко мнѣ Филатъ Никитичъ.—Здѣсь вы такое себѣ просвѣщеніе дадите, что мое почтеніе! Народу здѣсь гибель; всякій народецъ живетъ съ подхватцемъ, чортъ бы его задралъ! Я вотъ прибылъ сюда, м. г., на баркѣ изъ Финляндіи мальчуганомъ, тамъ у хозяина служилъ, да не понравился ему, онъ и послалъ меня къ тестю. А я по-русски ни аза не зналъ. Пріѣхалъ, глаза выпучилъ отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ. Сталъ работать, нашпиговался: научился сапоги шить, ботинки, на двухъ языкахъ болтаю, а по-русски всякія закорючки знаю...

— Врешь ты, собачья морда! ты изъ Ямбурга: самъ читалъ на твоемъ билетѣ.

Чиновникъ пригласилъ меня къ себѣ.

— Какъ вы находите этотъ народъ?—спросилъ онъ меня, когда мы вошли въ его комнату.

— Народъ хорошій.

— Ну нѣтъ: это избалованный народъ. У нихъ нѣтъ любви къ человѣчеству, уваженія къ женщинѣ, къ личности и т. п.

— Я не могу заключать, что этотъ народъ избалованъ, потому только, что онъ живетъ въ такомъ видѣ. Худого же онъ никому не сдѣлаетъ. Развѣ онъ, т. е. собственно одинъ который-нибудь сапожникъ изъ двухъ, обидѣлъ васъ чѣмъ-нибудь?

— А вы давно здѣсь?

— Третью недѣлю живу.

— Поэтому вы и не можете заключать такъ о здѣшнемъ народѣ.

Мы оба замолчали. Я сталъ вглядываться въ его комнату: желѣзная кровать, два стула, столъ небольшой, на столѣ лежатъ тетрадки и книги, фотографическая карточка самого чиновника; на стѣнѣ повѣшены на одномъ гвоздѣ гитара, на другомъ сюртукъ пальто и фуражка.

— Садитесь пожалуйста, потолкуемте. Я теперь ужасно занимаюсь: пишу комедію. Вы часто бываете въ театрѣ?

— Еще не былъ; денегъ нѣтъ.

— Существеннаго нѣтъ ничего... Я вотъ пишу существенное; былъ въ одной редакціи, не приняли. Я спросилъ, почему,—они только сказали: теперь комедіи и драмы никѣмъ не читаются. Отчего же они дрянныя комедіи печатаютъ? Это какъ?

Я тоже въ нѣкоторомъ родѣ былъ драматическій писатель и мнѣ слова его были не по нутру, но я о своемъ талантѣ умолчалъ и сказалъ:

— Ну, вы повѣсть начните.

— Ни за что! Въ повѣстяхъ нѣтъ интереса для простого народа. Я хочу, чтобы мои произведенія на театрѣ показывались.

— Это пожалуй трудненько, особенно здѣсь: говорятъ, протекція нужна.

— То-то и есть. Въ своей губерніи я давалъ содержателю театра одну комедію, да онъ хотѣлъ поставить ее съ передѣлками, я и не согласился.

— Ну, а раньше вы печатали гдѣ-нибудь?

— Въ губернскихъ вѣдомостяхъ печаталъ, да не стоило, потому что ихъ почти никто не читаетъ, а если кто и смотритъ ихъ, такъ смотритъ распоряженія начальства и разныя происшествія.

— Какъ же вы думаете теперь жить?

— Да вотъ теперь передѣлываю комедію. Я ее въ другую редакцію снесу.

Пошли мы съ нимъ въ кабакъ выпить водки. За водкой онъ разсказывалъ мнѣ, что пріѣхалъ сюда именно для того, чтобы помѣщать свои сочиненія и быть постояннымъ сотрудникомъ журнала; для этой цѣли онъ вышелъ въ отставку. Когда же онъ накопитъ больше денегъ, то поступитъ опять на службу и ему дадутъ хорошую должность, потому-де, что онъ будетъ образованный человѣкъ. Послѣ этого знакомства онъ каждый день сталъ навѣщать меня; но онъ сталъ надоѣдать мнѣ своимъ хвастовствомъ о превосходствѣ его надъ другими сочинителями и разсказами о плутняхъ разныхъ чиновниковъ, а главное тѣмъ, что мы пили съ нимъ много водки. Онъ продалъ свои золотые часы, заведенные имъ еще въ провинціи.

Въ департаментѣ я не отличался отъ другихъ красивымъ почеркомъ и писалъ вообще очень невзрачно. Начальникъ отдѣленія ничего не давалъ мнѣ переписывать, да мнѣ и лучше казалось не переписывать на него, потому что онъ требовалъ каллиграфію, распекалъ за знаки препинанія и т. п. Помощникъ же объяснилъ мнѣ, что онъ потому не даетъ мнѣ переписывать, что ему мой почеркъ не нравится и онъ привыкъ къ одному почерку. Столоначальникъ не обращалъ на меня никакого вниманія и даже не зналъ моей фамиліи; онъ только и зналъ, что у него въ столѣ три писца. Вообще, на меня смотрѣли какъ на пустого человѣка, котораго можно повернуть какъ угодно; но, когда мнѣ предложили взять работу на домъ, я храбро сказалъ, что у меня дома свѣчъ нѣтъ...

— Какъ такъ нѣтъ?—запищалъ столоначальникъ.

— Очень просто: денегъ нѣтъ.

— Куда же вы ихъ дѣли? Вы—писецъ, должны жить экономнѣе... Пьянствуете вѣрно?

— Я еще не получалъ жалованья изъ департамента.

— А зачѣмъ вы сюда пріѣхали?

Все-таки мнѣ на домъ работы не дали. Чтобы пріобрѣсти больше денегъ, я сталъ наниматься дежурить

въ департаментѣ за пятьдесятъ копѣекъ въ сутки, но меня немногіе нанимали, во-первыхъ потому, что еще не знали, что я за тварь такая, и во-вторыхъ, я былъ нештатный писецъ. Однако, я уже пять разъ дежурилъ. Дежурныхъ въ департаментѣ полагалось четыре; старшій дежурный только расписывался въ книгѣ, а въ дежурную не ходилъ и не зналъ, кто еще дежурный, потому что онъ расписывался за недѣлю раньше. Поэтому одинъ, постарше остальныхъ двоихъ, дежурилъ съ девяти часовъ утра до трехъ часовъ, другой—съ трехъ до утра; ночью велѣно было спать двоимъ, но спалъ всегда третій (по книгѣ четвертый). Дежурство мое только въ томъ и заключалось, что я принималъ пакеты, депеши, т. е. расписывался въ пріемѣ ихъ; дежурному подавался сальный огарокъ, который постоянно догоралъ въ восемь часовъ вечера, и съ этого времени я долженъ былъ спать.

Черезъ двѣ недѣли я уже уходилъ въ публичную библіотеку и читалъ тамъ книги даромъ. Между тѣмъ я успѣлъ переписать одинъ разсказъ изъ провинціальной жизни. Онъ мнѣ такъ нравился, что я думалъ, что его во всякомъ журналѣ напечатаютъ, и по привычкѣ ходить по кухнямъ, пошелъ разыскивать редакторскую кухню.

Меня тамъ осмѣяла редакторская прислуга и послала въ редакцію. Съ замираніемъ сердца я отдалъ пакетъ лакею и ушелъ. Черезъ недѣлю пришелъ въ пріемный день. Какой-то свирѣпый на видъ господинъ сказалъ мнѣ, что статья еще не прочитана и велѣлъ придти еще черезъ недѣлю. Черезъ недѣлю этотъ же свирѣпый господинъ сказалъ мнѣ важно: «неудобна къ напечатанію».

— Почему?—спросилъ я.

— Да... однимъ словомъ, неудобна.

— Какія же причины?

— Извините, мнѣ некогда...—И онъ отошелъ. Обругалъ я въ душѣ этого человѣка, ушелъ домой и долго думалъ, куда бы отдать статью. Перебралъ я всѣ газеты—ничего въ нихъ нѣтъ хорошаго, и надумалъ отдать въ «Насѣкомую»—наудалую, на томъ основаніи, что изъ газеты мнѣ легче будетъ попасть въ журналъ, несмотря на то, что эта газета никакихъ тенденцій не имѣла и помѣщала чортъ знаетъ что, почему журналы уже и не говорили о ней.

Въ этотъ же день я отдалъ свой разсказъ въ контору газеты «Насѣкомой» при письмѣ, въ которомъ я просилъ редактора напечатать статью и принять меня своимъ сотрудникомъ. Отдавши статью я думалъ, что я такъ просто побаловался и статью не напечатаютъ, потому что мой сосѣдъ Соколовъ не одну уже редакцію обѣгалъ, нигдѣ не принимаютъ; но я все-таки хотѣлъ потомъ передѣлать ее и отдать въ другую редакцію. Цѣлые пять дней я былъ въ тревожномъ состояніи: днемъ только и думалъ о статьѣ, думалъ, какъ я буду торжествовать, когда ее напечатаютъ въ столичной газетѣ и ее будутъ читать орѣховцы и департаментскіе чиновники. Между тѣмъ я все-таки сочинилъ другую статью. Каждый день я съ трепетомъ заглядывалъ во вчерашніе нумера газеты, нѣтъ ли моей статьи. Газету очень любилъ экзекуторъ и потому она къ намъ въ отдѣленіе попадала на другой день послѣ выхода. Въ шестой день я увидалъ въ этой газетѣ фельетонъ и заглавіе моего творенія. Я ошалѣлъ: въ глазахъ зарябило, кровь ударила въ голову, меня затрясло, сердце забилось сильнѣе. Сталъ я читать,—мои слова, моя мысль... Мнѣ засмѣяться хотѣлось отъ радости... Перевернулъ я листъ—моя фамилія. Но и тутъ мнѣ не дали въ волю порадоваться: помощникъ, видя, что я читаю газету, приказалъ мнѣ: «перепишите это поскорѣе да почище». Я сталъ переписывать, но только думалъ о своей статьѣ. Помощникъ замѣтилъ мнѣ, что я больно разсѣянъ, а мнѣ хотѣлось подѣлиться своей радостью съ кѣмъ-нибудь. Подсѣлъ ко мнѣ Соловьевъ и спросилъ: «какъ вы поживаете?».

— Вы читали газету «Насѣкомая»?—спросилъ я его дрожащимъ голосомъ, какъ будто меня сейчасъ сѣчь публично поведутъ.

— Пересматривалъ, да все ерунда, — сказалъ онъ важно. Мнѣ это обидно показалось.

— Тутъ... тамъ моя статья, — сказалъ я тихо; языкъ точно не поворачивался у меня.

— Ваша?! Неужели! Гдѣ? — спросилъ онъ съ важнымъ изумленіемъ.

Я показалъ. Соловьевъ взялъ «Насѣкомую», посмотрѣлъ, подпись моя, и сталъ читать, но читалъ немного.

— Такъ это точно ваша? поздравляю!—и, подошедши къ Петру Васильевичу Клюквину, сказалъ:

— У васъ въ столѣ литераторъ есть?

— Кто это такой?

— А вотъ!—и указалъ на меня.

— О чемъ?—спросилъ меня Клюквинъ.

— Это простой разсказъ.—Клюквинъ тоже удостовѣрился, что есть моя фамилія и, сказавъ: «надо прочесть»,—доложилъ объ этомъ столоначальнику, ткнувъ въ мою фамилію, напечатанную подъ статьей, какъ онъ тычетъ на статьи закона, показывая ихъ Черемухину. Столоначальникъ только промычалъ: А!!—и отбросилъ газету въ сторону. Онъ не любилъ «Насѣкомую».

Мнѣ показалось обиднымъ, что чиновники пренебрегаютъ моимъ сочиненіемъ. Когда я ходилъ курить, то мнѣ казалось, что всѣ на меня глядѣли и думали: вотъ сочинитель! Теперь чиновники нашего отдѣленія заговорили со мной вѣжливо, спрашивали, не печаталъ ли я еще гдѣ-нибудь статей, а Соловьевъ и Клюквинъ напрашивались на поздравку.

Когда Черемухинъ сталъ собираться домой, Клюквинъ доложилъ ему:

— Ваше превосходительство, у насъ литераторъ есть въ отдѣленіи.

— Кто такой?—спросилъ онъ, какъ будто съ испугомъ и съ удивленіемъ.

— Г. Кузьминъ. Онъ въ «Насѣкомой» вотъ эту статью напечаталъ,—и онъ показалъ ему газету.

— Подпись есть?

— Точно такъ-съ, ваше превосходительство,— и онъ ткнулъ пальцемъ на подпись.

— Скажите ему, что я прочитаю.

Въ этотъ день я блаженствовалъ. Купилъ я ну-

меръ газеты за десять коп., прочиталъ и нашелъ въ ней много своихъ ошибокъ: мнѣ казалось, что я бы теперь лучше сочинилъ. Много было типографскихъ опечатокъ и хорошія мѣста не были напечатаны. Хозяинъ тоже поздравилъ меня и попросилъ вѣжливо остальныя деньги за квартиру, а у меня, несмотря на то, что я питался чернымъ хлѣбомъ и чаемъ, теперь денегъ было только двадцать одна копѣйка съ грошемъ. Соколову очень не понравилось, что напечатана моя статья, и онъ со мной былъ неразговорчивъ, а выпивъ на мой счетъ косушку вишневки, которая впрочемъ отзывала клопами, онъ сказалъ мнѣ, что и онъ понесетъ туда свою статью лучше моей—но какую, этого онъ не объяснилъ. На другой день чиновники со мной здоровались, кромѣ столоначальниковъ; особенно увивались около меня Клюквинъ, Пьюжкинъ, Соловьевъ и Алексѣевъ, и даже подсмѣивались надъ моимъ костюмомъ. Соловьевъ говорилъ мнѣ, что онъ часто бываетъ у П. и даже переписывалъ ему одно сочиненіе; что онъ другъ брата П., который служитъ въ такомъ-то департаментѣ, и что у меня нѣтъ настоящаго литературнаго слога. «Но,—говорилъ онъ мнѣ:—вы выработаетесь; я вамъ помогу; мы вмѣстѣ будемъ читать». Я думалъ, что меня не заставятъ переписывать, но заставляли, а начальникъ отдѣленія своими руками отдалъ мнѣ черновую бумагу и велѣлъ переписать и прочитать съ нимъ. Клюквинъ объяснилъ мнѣ: это означаетъ то, что начальникъ отдѣленія расположенъ къ вамъ. Случилось такъ, что я переписалъ, не стараясь, не красиво. Чиновники постарше подшучивали надо мной и говорили, что Черемухину не нравится моя переписка. Оно такъ и вышло: когда я подалъ Черемухину, онъ сказалъ, какъ всегда говорилъ чиновникамъ: «положите, я васъ призову» и немного погодя сказалъ Клюквину: «скажите г. Кузьмину, что такъ негодится переписывать: вѣдь ее будетъ г. директоръ читать». Я переписалъ снова старательно. Черемухинъ попросилъ меня сѣсть, я сѣлъ и чувствовалъ неловкость. Черемухинъ сказалъ:

— Смотрите въ мою черновую,—и сталъ читать громко. Я думалъ, что мнѣ смотрѣть въ его черновую не зачѣмъ, потому что онъ самъ знаетъ, что имъ сочинено, и сталъ глядѣть на его портфель.

— Что же вы въ мою черновую не смотрите? смотрите пожалуйста.

Онъ продолжалъ читать еще громче и медленнѣе, останавливаясь на каждомъ словѣ.

— Вотъ у васъ тутъ тире не поставлено... это нехорошо,—сказалъ онъ обиженнымъ голосомъ. Я покраснѣлъ, чиновники глядѣли на меня и Черемухина.

— Вы вѣрно безъ транспаранта пишете?

— Я и такъ умѣю.

— А вотъ эта строчка косо. Нельзя: вѣдь г. директоръ будетъ читать,—сказалъ онъ наставительно.—Тутъ вотъ опять тире. Какъ же вы сочиняете еще, а этого не знаете...—И онъ подписалъ свою фамилію, важно расчеркнувшись. Я умильно глядѣлъ на его росчеркъ.

— Вы можете идти на свое мѣсто.

Я вздрогнулъ, покраснѣлъ и ушелъ. Чиновники меня ошикали:

— Что, каково? Вотъ тѣ и сочинитель!

Въ этотъ день былъ у меня Соловьевъ и мы долго толковали съ нимъ о литературѣ. Онъ оказался неглупымъ человѣкомъ, но говорилъ, что знаетъ литературу вдоль и поперекъ, только не хочетъ самъ сочинять, лѣнь. Онъ мнѣ поправилъ другую статью и взялъ одинъ очеркъ для прочтенія.

На другой день я отдалъ другую статью въ ту же контору «Насѣкомой», въ которой подалъ и первую.

И такъ я торжествовалъ. Послалъ я Ленѣ письмо, въ которомъ подробно описывалъ свою радость и надежды выйти въ люди своими сочиненіями. Письмо вышло дѣльное и въ немъ я уже называлъ Лену милою моею будущею подругою. Въ этотъ день чиновники получили жалованье. Половина чиновниковъ получили не все жалованье, потому что на нихъ были долги. Въ пріемной толпились разные кредиторы, и особенно нахальничалъ чиновникъ департамента, который подписывается на газеты и журналы и у котораго чиновники подписываются на эти умо-просвѣщающія и умо-отупляющія вещи. Такъ какъ онъ обыкновенно затрачиваетъ много своего капитала, а чиновники пользуются этими вещами въ долгъ, то онъ и теребитъ съ нихъ деньги при полученіи жалованья.

— Деньги пожалуйте.

— Теперь не могу отдать, подождите до слѣдующаго.

— Да что же мнѣ все ждать. Отдайте ради Бога.

Чиновникъ-газетчикъ похожъ былъ теперь на жида, просящаго свой долгъ, а чиновники-подписчики—на безсовѣстныхъ должниковъ, старающихся во что бы то ни стало отсрочить уплату платежа или не заплатить деньги.

Другой былъ пирожникъ, у котораго чиновники брали на книжку цѣлый мѣсяцъ и даже цѣлый годъ пироги.

— Ну, подожди! Теперь нѣтъ, самому мало,—говорили одни.

— Ради Бога!..—онъ чуть не плакалъ.

— Ты, каналья, на меня пять пироговъ лишнихъ насчиталъ,—говорили другіе, разсчитываясь съ пирожникомъ.

— Какъ это возможно!.. Вѣдь я не въ первый годъ торгую у васъ.

Были здѣсь портные, сапожники и другіе люди, но чиновники старались какъ-нибудь улизнуть отъ нихъ. Одна какая-то госпожа очень плакалась на одного чиновника.

— Да вѣдь онъ здѣсь служилъ.

— Да. Теперь онъ въ отставкѣ уже съ мѣсяцъ.

— Онъ мнѣ назадъ тому шесть мѣсяцевъ вексель далъ въ тридцать рублей.

— А мнѣ росписку во сто рублей. Я ему платье шилъ вотъ по ихней рекомендаціи, отозвался портной, указывая на госпожу.

— Я была у него назадъ тому недѣлю; говоритъ, вы ничего съ меня не возьмете, я, говоритъ, еще двадцати лѣтъ, несовершеннолѣтній.

— Да, онъ еще несовершеннолѣтній,—сказали чиновники.

— Ничего не получите,—сказалъ одинъ молодой чиновникъ.

— Какъ же, онъ имѣетъ чинъ, а я не могу съ него, не имѣю права взыскивать деньги? Зачѣмъ же ему чинъ дали, коли онъ несовершеннолѣтній?—горячился портной.

Чиновники пожали плечами и ушли.

— Гдѣ же справедливость?—сказала госпожа и вышла съ портнымъ на площадку, а потомъ и изъ департамента.

Мнѣ пришлось получить жалованья только 5 руб. съ копѣйками. Всего жалованья мнѣ назначили 8 руб., и изъ нихъ около двухъ руб. вычли за негербовую бумагу, а одинъ руб. въ эмиритальную кассу. Объ этой кассѣ, какъ я слышалъ отъ чиновниковъ, они сами не имѣли понятія, потому что имъ не сказали правилъ; поэтому многимъ не хотѣлось платить денегъ—изъ 12 руб.—6%; но съ нихъ вычитали, говоря, что годовъ черезъ десять они будутъ получать проценты, а черезъ двадцать пять—пенсію. Спросилъ я чиновниковъ: а могу я брать взаймы оттуда?—Нѣтъ.—А если я умру нынче или выйду въ отставку черезъ годъ?—Ничего не получите. Ждите, вотъ правила собираются печатать.—Я сказалъ экзекутору, что я не желаю платить денегъ, потому что мнѣ жить не на что.

— Не ваше дѣло,—сказалъ онъ, и говорить больше не захотѣлъ.

Компанія, состоящая изъ Клюквина, Пьюжкина, Соловьева и Алексѣева, пригласила меня омывать жалованье. Трактиръ очень приличный. Въ каждой комнатѣ сидятъ чиновники, военные, гражданскіе. Мы вошли въ какую-то маленькую комнату, въ которой было темно. Служитель зажегъ газъ и любезно привѣтствовалъ чиновниковъ. Оказалось, что мои товарищи этотъ трактиръ посѣщаютъ чуть ли не каждый день.

Потребовали графинъ водки и закуски. Послѣ выпивки по рюмкѣ, они стали разсуждать, чего бы имъ потребовать или чѣмъ пообѣдать. Потребовали сперва карточку и еще графинъ водки; перебрали на карточкѣ всѣ кушанья, кушанья дорогія, и потребовали каждый по своему вкусу; я же попросилъ щей,—мнѣ принесли борщъ въ тридцать копѣекъ.

— Это, господа, дорого,—сказалъ я товарищамъ.

— Погоди, оботрешься. Вотъ какъ будешь получать много денегъ изъ редакціи, лучше нашего заживешь.—Товарищи въ компаніи говорили всѣмъ «ты» послѣ стуканій рюмка объ рюмку.

Выпивши по четыре рюмки водки, чиновники, и такъ говорливые, но чѣмъ-то измученные, теперь размахнули свою чиновничью натуру: каждый высказывался, какъ умѣлъ, что онъ рѣшительно никого не боится, каждый высказывалъ, что его обижаютъ, что онъ заслуживаетъ хорошаго мѣста и много знаетъ; потомъ слѣдовали попреки другъ другу.

— Ну какъ тебѣ не стыдно подличать!

— Чѣмъ же я подличаю? это ты передъ Черемухинымъ какъ лиса увиваешься. Стыдись!

— А ты! Ты что говорилъ третьяго дня: я, говоритъ, нагрублю Черемухину, а вчера что дѣлалъ?—И т. п.

Начались брань, лганье, упреки хуже прежнихъ, дошло до семейной жизни, раскрылись всѣ тайны чиновниковъ. И какими они жалкими казались въ это время; они походили не на чиновниковъ, а на подмастерьевъ, готовыхъ на всякія гадости, но въ то же время замѣтно было какое-то горе, что-то тяготило ихъ, и казалось, что въ водкѣ они находятъ утѣху и веселіе.

Несмотря на то, что я заказалъ только щи, а мнѣ принесли борщъ, за который слѣдовало заплатить 30 к., да выпилъ я пять рюмокъ водки на 25 к., съ меня сошло 79 к., потому что чиновники, кушая разныя кушанья, платили каждый поровну,—это называлось товариществомъ.

Еще взяли графинъ водки, но я уже не пилъ. Алексѣевъ журналистъ былъ уже пьянъ и ничего не могъ выговорить, потому что онъ заикался. Прочіе были еще не пьяны и постоянно просили у Алексѣева денегъ; онъ давалъ, а они хохотали. Этотъ Алексѣевъ былъ добрый малый, но глупъ; говорили, что онъ, управляя домомъ, наживалъ деньги и давалъ ихъ въ долгъ чиновникамъ, которые, впрочемъ, ему рѣдко отдавали.

Поѣхали въ гостиницу Шухардина, но тамъ такъ много грязи было вечеромъ, особенно въ саду, что я скоро ушелъ домой съ Соловьевымъ.

Напечатали и вторую статью въ «Насѣкомой». Похвалили меня чиновники, провозгласили по департаменту, что въ такомъ-то отдѣленіи литераторъ есть, стали меня окружать чиновники и разспрашивать, не писалъ ли я прежде, что я пишу теперь и сколько получаю денегъ. Чиновники же нашего отдѣленія напрашивались на водку, а Черемухинъ все болѣе и болѣе давалъ работы и требовалъ, чтобы я переписывалъ чисто. Служба начала противѣть. Пошелъ я къ редактору «Насѣкомой», Кускову. Это былъ тучный, здоровый, высокій человѣкъ. Онъ принялъ меня любезно, расхвалилъ, просилъ приносить статьи и сказалъ, что онъ будетъ разсчитывать меня по три копѣйки за строчку. Я попросилъ денегъ и отдалъ ему большую статью на пять нумеровъ.

— Пожалуйста, придите черезъ недѣлю. Я велю сосчитать, сколько вамъ придется получить, и выдамъ деньги.

Въ ожиданіи будущихъ благъ, я перебрался изъ маленькой комнаты внизъ, въ комнату возлѣ хозяйской, и рядомъ съ кабакомъ. Комната эта была совсѣмъ отдѣльная и нравилась мнѣ потому, что она была внизу и въ ней топили печку, а въ прежней, по отсутствію печи, былъ страшный холодъ. Я сталъ обѣдать у хозяина за семь рублей. Одно только было неудобство, что я все слышалъ, что происходило въ кабакѣ.

Не черезъ недѣлю, а черезъ двѣ недѣли я получилъ кое-какъ изъ конторы «Насѣкомый» 6 р., а слѣдовало получить 35; и то я за деньгами ходилъ цѣлую недѣлю изъ департамента въ редакцію, и даже

разъ получилъ выговоръ отъ Черемухина, что я куда-то шляюсь не во-время.

Большую статью мою на пять нумеровъ Кусковъ возвратилъ мнѣ, потому-де, что ее нужно передѣлать и она не согласна съ направленіемъ газеты. Это меня взбѣсило, но я отдалъ ему другую статью; однако и эту статью онъ возвратилъ мнѣ.

Соколовъ между тѣмъ съѣхалъ и я его не видалъ.

Прошло мѣсяца три и я отъ Кускова не получилъ ни копѣйки. Сначала онъ велѣлъ приходить мнѣ черезъ недѣлю, потомъ черезъ день, а потомъ уже лакей и пускать меня не сталъ къ нему. А въ департаментѣ говорили, что я лѣнюсь заниматься. Разъ я ходилъ долго, т. е. сидѣлъ въ конторѣ часа три и редактора не дождался. Прихожу въ отдѣленіе часу въ пятомъ.

— Гдѣ это вы шляетесь? какъ я пришелъ, вы и ушли!—закричалъ на меня столоначальникъ.

Я промолчалъ, потому что находилъ, что я дѣйствительно часто ухожу изъ департамента. Подошелъ ко мнѣ Черемухинъ. Я сижу...

— На васъ, г. Кузьминъ, столоначальникъ жалуется.

Я молчу.

— Вамъ говорятъ!

Я всталъ и покраснѣлъ.

— Куда вы ходили?

— За деньгами въ редакцію.

— Можете въ другое время ходить.

— Да редакторъ въ часъ принимаетъ.

— Если вы еще будете уходить, то выходите въ отставку.

Меня взбѣсило это, но я промолчалъ. «Будь только у меня въ карманѣ сто рублей—ей-Богу выйду въ отставку», думалъ я; а утромъ опять смирился.

На другой день послѣ этого я получилъ письмо изъ Орѣхова отъ Лены. Она писала, что ѣдетъ на Кавказъ къ брату, который ей на поѣздку выслалъ сто рублей. Грустно мнѣ сдѣлалось послѣ прочтенія письма, но я скоро успокоился: письмо Лены развязало меня съ ней. На ея письмо я не сталъ отвѣчать и съ тѣхъ поръ не получалъ объ ней ужъ больше извѣстія.

Жить въ новой комнатѣ было и весело, и неловко. Въ мое окно постоянно заглядывали шедшіе и вставляли свои рожи разные люди обоихъ половъ, неизвѣстно для чего. Въ лавочкѣ съ утра до вечера хлопали двери. Съ утра—съ восьми часовъ—до ночи шелъ тамъ разгулъ: крикъ, пѣсни, пляска, а иногда и драки. Раздирало слухъ, дрожалъ домъ, звенѣли стаканы, трещали стулья... Но мнѣ, съ помощью водки, не было дѣла до кабака; хозяинъ былъ человѣкъ ласковый, кормили меня хорошо, деньги не просили впередъ, долги ждали. А гдѣ я найду такого хозяина!...

Долго я вслушивался въ разговоры, вглядывался въ посѣтителей кабака и пришелъ къ тому мнѣнію, что русскій кабакъ для простого человѣка—клубъ.

Есть люди, которые чувствуютъ отвращеніе къ кабаку, говоря, что тамъ грязно и народъ тамъ сильно пьянствуетъ. Есть даже брошюрка подъ названіемъ «Бѣги отъ кабака»... Теперь говорятъ, что много мретъ народу отъ водки. Можетъ быть, послѣднее и правда, потому что хорошей водки бѣдному человѣку взять неоткуда въ столицѣ. Мой хозяинъ обыкновенно покупалъ водку изъ одного большого завода боченками и по мелочамъ, потомъ водку изъ боченковъ переливалъ въ свою посуду, разбавляя ее водой. Водку онъ приготовлялъ разныхъ сортовъ: очищенную, крымскую и малороссійскую; одна ничѣмъ не пахла, другая такъ пахла, что съ понюшки тошнило. Поэтому и цѣна ей была разная. Перцовки и наливокъ настоящихъ у него не было, а все онъ приготовлялъ самъ, настаивая на кореньяхъ, на шафранѣ и на маслѣ,—что я видѣлъ самъ своими глазами, потому что онъ настойки ставилъ за теплую печь, или въ печь, устроенную въ моей комнатѣ. На окнѣ въ кабакѣ, на полочкахъ у него стояли образцы водокъ, и эти-то образцы свидѣтельствовалъ акцизный чиновникъ...

Простой, рабочій народъ не знаетъ, какой ядъ заключается въ водкѣ, и пьетъ ее по разнымъ причинамъ. Питухи бываютъ двухъ родовъ: пьяницы, ничего не дѣлающіе, и выпивающіе ради чего-нибудь. Отправляется человѣкъ на работу и заходитъ въ кабачекъ выпить осьмуху ради освѣженія—разбить кровь. На работѣ онъ измучится, устанетъ и опять заходитъ въ кабакъ выпить передъ сномъ грядущимъ. Безъ водки онъ дѣлается скучнымъ, а выпивъ стаканъ, онъ дѣлается бодрѣе, у него развязывается языкъ. Если у него есть деньги, и завтра ему хочется погулять, то онъ начнетъ разговаривать или съ хозяиномъ кабака, или съ человѣкомъ одного съ нимъ сорта, или пристаетъ къ компаніи рабочихъ. Если онъ пришелъ съ товарищами, которые угощаются или однимъ, или сообща, то выпивши стакана два, онъ располагается, какъ дома: говоритъ громко, высказываетъ свои мысли о комъ или о чемъ-нибудь, споритъ и, если есть у него расположеніе, начинаетъ пѣть пѣсни или пристаетъ къ поющей компаніи. Если товарищи о чемъ-нибудь толкуютъ, то и онъ высказываетъ свое мнѣніе, добытое практикой или слухами отъ хорошихъ людей; если его обидѣли, онъ высказываетъ это товарищамъ, которые, сочувствуя ему, даютъ ему свой совѣтъ; если его теперь обижаютъ или навязываютъ ему неподходящія мнѣнія, онъ ругается и готовъ Богъ знаетъ что сдѣлать съ обидчикомъ. Въ этомъ рабочемъ вы не узнаете обыкновеннаго деревенскаго крестьянина, живущаго въ кругу однодворцевъ и пьющаго водку въ праздники.

Но отчего рабочіе собираются непремѣнно въ кабаки и трактиры? вѣдь у нихъ есть свои квартиры? — спроситъ читатель. На это я скажу, что крестьянину очень скучно, душно и тяжело въ столицѣ, гдѣ онъ живетъ заработками. Люди, хоть нѣсколько достаточные, даже не особенно зажиточные имѣютъ возможность справлять свои праздники въ своихъ семействахъ или вообще дома, въ болѣе или менѣе удобной комнатѣ; бо́льшая же часть крестьянъ живетъ въ Петербургѣ безъ женъ, и вообще безъ женщинъ, съ товарищами, не по одному, а по пяти,

десяти и болѣе человѣкъ. Въ деревняхъ они праздники справляли въ семействахъ, и здѣсь они знаютъ Пасху, Рождество, масленицу и воскресные дни. Въ артеляхъ ихъ кормятъ обыкновенно худо; такіе, которые не имѣтъ *матки* или живутъ на своихъ харчахъ, тоже питаются дрянною пищею. Въ комнатѣ сыро, душно, съ товарищами все переговорено, тянетъ на улицу, хочется повеселиться... Куда идти? Бабъ нѣтъ, дѣвокъ своихъ нѣтъ, орать пѣсни неловко, шататься по городу надоѣло, собраній такихъ нѣтъ, гдѣ бы рабочій чѣмъ-нибудь занялся— ну и идетъ человѣкъ въ кабакъ. Тамъ онъ, выпивши водки, повеселѣетъ, покалякаетъ съ кѣмъ-нибудь, пѣсни попоетъ, попляшетъ, и никто тамъ ему не препятствуетъ. А развѣ въ комнатѣ на квартирѣ ему дозволятъ плясать? Отчего же ему не пѣть и не плясать въ кабакахъ, когда онъ выросъ въ деревнѣ на хорошемъ воздухѣ и укрѣпилъ свои силы въ деревнѣ? Мнѣ часто случалось видать на улицахъ лежащихъ мужиковъ съ разбитыми членами, но и это происходитъ оттого, что зашелъ человѣкъ въ праздникъ въ кабакъ, выпилъ изрядно, выспался, опять зашелъ опохмѣлиться, да попались товарищи, угостили, самъ угостилъ ихъ, а потомъ и не чувствуетъ, что дѣлается съ нимъ, а пробуждается уже дома, на квартирѣ. Такъ онъ мало-по-малу и втягивается въ водку, пропивая деньги, скоро хмѣлѣетъ и доходитъ до того, что, идя одинъ, падаетъ на панель и уже не можетъ встать и, ничего не чувствуя, скоро засыпаетъ. Мнѣ часто случалось видать и не однихъ чиновниковъ пьяными, но зато тѣ пьютъ дорогія вина или дома, или изъ гостей ѣдутъ въ каретахъ, а потомъ ложатся спать на пуховики... Зачѣмъ же крестьянъ-то обвинять въ пьянствѣ?..

Въ кабакѣ часто крестьяне толковали о разныхъ предметахъ. А что для нихъ полезно бы было устроить собранія, это видно изъ того, что хозяинъ, читавшій «Сынъ Отечества», говорилъ имъ о политикѣ и разрѣшалъ вопросы по-своему.

— Толкуютъ, наборъ будетъ?

— Хозяина надо спросить. Андрей Петровичъ, будетъ наборъ?

— По газетамъ не слышно,—отвѣчаетъ хозяинъ.

— И войны нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Я слышалъ, Америка што-то замышляетъ.

— Америка промежъ собой воюетъ, — сказалъ хозяинъ.

— Какъ такъ?

— Такъ, два народа: бѣлый и черный. Бѣлый англичане и нѣмцы, а черный арапы и негры. Вотъ нѣмцы да англичане и покорили араповъ и стали ихъ продавать. Хуже, чѣмъ у насъ крѣпостные были.

— Што же царь-то ихной смотритъ? Сказалъ бы: воля, братцы вамъ, арапы, и конецъ.

— Да то, што у нихъ самосудство, все обществомъ...

— Што жъ общество смотритъ? Нешто нѣтъ старостъ-то?

— Есть, да и они въ свою сторону воротятъ. Вотъ теперича одни говорятъ, не надо рабства, а другіе надо,—и пошла война.

— Чья же взяла?

— Да ничья. А американцы лучше, говорятъ, всѣхъ.

Пошли толковать объ войнахъ и свернули на помѣщиковъ, а потомъ на надѣлъ земли.

— Вотъ теперь комета! какъ покажется, будетъ война.

— Это такъ!

— Што же это за штука? Надо хозяина спросить... Эй! скажи-ка што такое комета?

— Это звѣзда настоящая, только съ хвостомъ,— говорилъ хозяинъ.

— Ой-ли!

— Она горитъ,—увѣрялъ хозяинъ.

— Ври!

Пришли покупатели, и хозяинъ, самъ не знавшій, что такое комета, радъ былъ, что избавился отъ разспросовъ. А рабочіе долго еще толковали о кометѣ и свели разговоръ на урожаи и неурожаи и на пожары.

За однимъ столомъ сидѣли подмастерья портные съ маляромъ, за другимъ четверо рабочихъ.

— А вотъ рымскій папа штука! — сказалъ одинъ подмастерье.

— Што?—спрашивалъ маляръ.

— Онъ какія штуки выдѣлываетъ: коли тебѣ нужно грѣшить, возьми изъ ихной церкви записку али бумажку, и грѣхи долой: цѣна всякая: и рубль, и сто рублей, и тысяча. Заплатилъ сто рублей — на сто лѣтъ грѣхи долой, а то грѣши на тысячу...

— Врешь?

Рабочіе замолчали. Они слушали подмастерья. Подмастерье божился, крестился, что онъ не вретъ.

— Онъ самый набольшій у католиковъ, выше королей.

— Чево ты врешь!—сказалъ маляръ. Кабы онъ былъ живой, отмѣнилъ бы эти бумажки, потому вѣдь тутъ обманъ. Вѣдь онъ моща! ей Богу моща...

Всѣ посмотрѣли на него въ недоумѣніи.

— Ну вотъ, ты и самъ не знаешь, што мелешь.

Дружный хохотъ заглушилъ оправданія маляра.

Отъ индульгенцій перешли къ тому, что свѣтскій судъ строже духовнаго.

Часто приходили въ лавочку шарманщики, но хозяинъ гналъ ихъ прочь, когда не было народа; при народѣ онъ старался продержать ихъ дольше. Часто здѣсь бывали драки, которыя разбирали городовые. Въ праздники, далеко за полночь, веселился и бушевалъ народъ съ приходящими для куска хлѣба, стакана водки или пива съ женщинами; тутъ были и честные, трудящіеся люди, подозрительные люди, живущіе нечестно, бѣдняки, выпрашивающіе себѣ рюмку водки для залитія горя и освѣженія горла,— и все это кричало, пѣло, плясало и вело себя такъ бѣшено въ общей массѣ, что страшно казалось за человѣка, который какъ будто кричалъ: «не подходи! никому не спущу»...

Къ декабрю мѣсяцу служба страшно опротивѣла; въ штатъ не зачисляли, жалованья давали то восемь, то десять рублей. Кусковъ денегъ не платилъ. Онъ говорилъ, что у него нѣтъ денегъ. Почти четыре раза я ходилъ къ нему на недѣлѣ за деньгами, и все напрасно; да и не я одинъ ходилъ къ нему... Статей моихъ онъ не печаталъ.

Не забыть мнѣ достопамятное 18 декабря. Я его беру прямо изъ моего дневника.

«Отпросился я сегодня у столоначальника въ редакцію. Велѣлъ приходить скорѣе. Къ редактору, думаю, идти не стоитъ — не пуститъ лакей. Иду и думаю: «Господи! сколько разъ я хожу по этой дорогѣ съ надеждой: вотъ получу деньги и расплачусь съ Андреемъ Петровичемъ и другими, не будетъ мнѣ совѣстно людей. И сколько разъ возвращался я этой дорогой назадъ обиженный, оплеванный лакеемъ и конторщикомъ»... Слезы шли изъ глазъ, въ глазахъ дѣлалось мутно. И отчего это нигдѣ не принимаютъ моихъ статей? Прихожу въ контору. Конторщикъ поморщился и что-то шепнулъ, вѣроятно: опять! Въ грязной конторѣ, съ двумя портретами двухъ дураковъ, ходилъ какой-то молодой человѣкъ въ шинели, вѣроятно тоже литераторъ. Онъ на меня не смотрѣлъ, ко мнѣ не подходилъ, ни о чемъ не спрашивалъ у меня, когда я сидѣлъ на диванѣ.

— Отчего это у васъ денегъ нѣтъ?—спросилъ конторщика обиженнымъ голосомъ литераторъ.

— Спросите Кускова, — сказалъ конторщикъ, какъ будто желая сказать: да отвяжись ты!.. Конторщикъ сводилъ какіе-то счеты.

Пришелъ дворникъ.

— Свѣчъ въ долгъ не даютъ.

Конторщикъ даетъ денегъ на одинъ фунтъ.

— Да для типографіи этого мало.

— Мнѣ-то что за дѣло! Я гдѣ возьму денегъ?

Приходитъ мальчикъ изъ типографіи.

— Дайте тридцать копѣекъ.

— Я тебѣ, любезный, сказалъ, что у меня денегъ нѣтъ. Проси самого Кускова.

Пришелъ рабочій.

— Что же деньги?

— Ахъ, да отвяжись ты!

— Ты мнѣ двѣнадцать рублей долженъ. Покуда я ждать-то буду?

— Пошелъ вонъ, свинья!

— Самъ свинья и съ Кусковымъ...

Пришелъ лакей.

— Гдѣ дворникъ? — спросилъ онъ конторщика.

— За свѣчами ушелъ. А что?

— Да какой-то подлецъ ворвался въ залу. Я его гоню, а онъ сѣлъ на диванъ. Я, говоритъ, не выйду до тѣхъ поръ, пока не получу денегъ... Это просто бѣда. Въ прошлый разъ какой-то мазурикъ двѣ книги хорошія укралъ.

Часа черезъ два пришелъ въ контору Кусковъ. Поздоровался съ литераторомъ.

— Извините, ради Бога, ей-Богу, денегъ нѣтъ. Черезъ недѣлю придите.

— Да я ужъ сколько хожу...

Кусковъ пожалъ плечами и ушелъ, не поговоривши со мной.

Обидно мнѣ сдѣлалось. Заплакалъ я за воротами и пошелъ; хорошо, что люди не замѣтили моихъ слезъ: снѣгъ шелъ.

Пришелъ въ отдѣленіе и сѣлъ на свое мѣсто. Помощникъ и говоритъ мнѣ.

— Ну, Кузьминъ, Черемухинъ задастъ тебѣ баню. Онъ тебя два раза спрашивалъ.

Черезъ полчаса подходитъ ко мнѣ Черемухинъ.

— Вамъ ужъ я говорилъ не въ первый разъ, чтобы не отлучались.

— Я за деньгами ходилъ... меня столоначальникъ отпустилъ.

— Извольте выходить въ отставку.

Въ глазахъ у меня помутилось, какъ будто вся кровь прихлынула въ голову, но я все-таки сдержался и отмалчивался отъ насмѣшекъ чиновниковъ. Часу въ шестомъ половина служащихъ разошлась по домамъ, а я остался для того, чтобы попросить Черемухина оставить меня въ департаментѣ. Вдругъ подходитъ къ Черемухину вице-директоръ съ палкой, тотъ самый, котораго я видѣлъ въ первый день моего появленія въ департаментѣ.

— Нѣтъ ли у васъ писца? Вотъ это переписать; нужно очень скоро.

— Кого же бы? У меня всѣ хорошіе-то вышли... Г. Кузьминъ, перепишите.

Я обрадовался, думая, что Черемухинъ меня помилуетъ.

— Скорѣе же!—крикнулъ на меня вице-директоръ.

Я доставалъ медленно веленевую бумагу, медленно перо искалъ, вице-директоръ торопилъ. Перо попалось дрянное, такъ что два слова написалось точно мазилкой. Увидавъ это, вице-директоръ закричалъ:

— Это что такое значитъ! А? Ахъ ты, Господи! Перемѣни бумагу, скотина...

Опять онъ сталъ диктовать мнѣ, а я писалъ; онъ продиктовалъ какое-то слово, я написалъ, онъ вмѣсто него продиктовалъ снова другое. Увидавъ, что я написалъ первое, онъ пришелъ въ неописанную ярость.

— Это что!! это что!! г. Черемухинъ? кого вы мнѣ дали? онъ и писать не умѣетъ... Онъ нарочно...

— Онъ... сочинитель.

— Сочинитель! Выгнать его вонъ! Вонъ!!

И вице-директоръ, выхвативши бумагу, убѣжалъ изъ нашего отдѣленія.

— Извольте подавать въ отставку, — сказалъ мнѣ начальникъ отдѣленія.

Не помню, какъ я вышелъ изъ департамента; только помню, что я шелъ домой, какъ шальной. Дома хозяинъ спросилъ меня:

— Что съ вами?

— Дайте водки.

— Да за вами два съ полтиной долгу, да за квартиру шесть...

— Я заплачу.

Выпивши залпомъ стаканъ перцовки, я сказалъ ему, что меня выгнали.

— А деньги когда вы мнѣ отдадите? Я ужъ вашу комнату отдалъ.

— Будто?!

— Да... Вы мнѣ оставьте залогъ какой-нибудь.

Я выпилъ еще стаканъ перцовки и сказалъ:

— Возьмите мою шинель. Она мнѣ стоитъ пятнадцать рублей.

— Помилуйте, она всего-то пять рублей стоитъ.

Я немного ѣлъ и скоро легъ, но долго не могъ заснуть. Положеніе мое было такъ скверно, что я рѣшительно ничего не могъ придумать...

Утромъ я пошелъ на толкучку продавать шинель. Дали семь рублей. Намерзся я сильно въ лѣтнемъ пальтишкѣ и зашелъ въ питейный. Тамъ я встрѣтилъ Соколова; онъ былъ пьяный.

— Что съ тобой, Соколовъ?

— Ничего,—бурлилъ онъ.—Поподчуй водочкой, ты вѣдь литераторъ.

— Меня, братъ, вчера выгнали изъ департамента.

— Врешь!!—и онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня.

Ноги озябли, самъ я дрожалъ отъ холода и съ горя, голова трещала, и я выпилъ опять стаканъ водки, еще выпилъ, закусилъ, а потомъ уже не помню, что со мной было. Пробудился я отъ боли въ ногѣ, какъ-будто кто-то ступилъ на нее. Кое-какъ я открылъ глаза, вѣки у меня словно вспухли; взглянувъ кругомъ себя, я долго не могъ понять, гдѣ я нахожусь... Я лежалъ подъ нарами въ одной рубахѣ и штанахъ, босой. Кое-какъ я выползъ. Передо мной стояло человѣкъ десять мужчинъ съ пьяными лицами, въ ободранныхъ одеждахъ; люди эти ругались и кричали.

— Ну-ка ты, чортъ, вставай!—крикнулъ кто-то, и я почувствовалъ пинокъ въ голову. Только теперь я очувствовался и понялъ, что я лежу на полу въ съѣзжей. Я сѣлъ. Меня куда-то позвали и велѣли одѣваться и выдали мнѣ сапоги и пальто, которое оказалось съ крестомъ на спинѣ, начерченнымъ мѣломъ, изодрано и замарано; ни фуражки, ни бумажника не оказалось.

Скоро меня въ такомъ видѣ препроводили съ городовымъ въ департаментъ...

Можете себѣ вообразить мой стыдъ, когда меня привелъ въ департаментъ городовой и сдалъ дежурному. Чтобы ускользнуть скорѣе изъ департамента, я занялъ у одного чиновника два рубля и написалъ прошеніе, довѣривъ его подать этому же чиновнику.

Квартирный хозяинъ не узналъ меня. Онъ сказалъ, что въ моей комнатѣ живетъ уже какая-то вдова, а мое имущество находится въ кухнѣ, гдѣ теперь никто не жилъ. До вечера я проболтался кое-какъ безъ водки, а вечеромъ пришли ко мнѣ двое чиновниковъ департаментскихъ и на свой счетъ поставили штофъ водки. Всѣ они жалѣли меня, старались напоить, но и обвиняли, что я не старался угождать начальнику отдѣленія, потомъ стали укорять меня, что я пью водку на ихъ счетъ. Это меня взбѣсило и я вытолкалъ ихъ вонъ изъ кухни.

Хозяинъ мнѣ надоѣлъ напоминаніями о томъ, чтобы я очищалъ квартиру, и я нанялъ въ Апраксинскомъ переулкѣ въ подвалѣ, выходящемъ во дворъ, уголъ за четвертакъ, а старому хозяину оставилъ всѣ свои вещи. Эта комнатка имѣла всего одно окно, въ которое проходилъ со двора вонючій воздухъ. Въ переднемъ углу за маленькимъ столомъ помѣщался хозяинъ этой комнаты, сапожникъ Гаврила, направо противъ него жилъ какой-то шапочный мастеръ, Степанъ Иванычъ. Ближе къ дверямъ на полу помѣщалась немолодая женщина Маланья Павловна съ тремя ребятами. Она тоже помогала шить шапочному мастеру; противъ нея лежала молодая женщина и охала. Въ ней не было ни одной кровати, ни шкапа; на полу стояли сундучки, лежалъ какой-то хламъ, на стѣнахъ висѣли худенькія одежды; было три табуретки. Я помѣстился въ углу за Маланьей Павловной. Здѣсь обитала страшная бѣдность, грязь, вонь. Зайдя въ этотъ чертогъ, можно было подумать, что тутъ живутъ люди-звѣри; но и здѣсь у каждаго человѣка былъ свой характеръ, свое занятіе, свой взглядъ на вещи и каждый ругался по-своему. Ни одного ласковаго слова вы не услышете здѣсь; и однако же эти люди были добры, какъ я узналъ съ перваго раза.

— Маланья Павловна, голубушка, сходи за бабкой.

— Погоди, Катерина, ишь ребенка кормлю.

— Ой!—простонала Катерина.

— Гаврила! ты бы сходилъ...

— Есть когда мнѣ!.. умирай!

Однако Гаврила ушелъ скоро. Я подсѣлъ къ Степану Иванычу. Онъ сказалъ, что шьетъ фуражки и шапки на Апраксинѣ; за каждую изъ готоваго сукна ему платятъ по пятнадцати копѣекъ. За уголъ они, т. е. всѣ жильцы этой комнаты, платятъ по полтиннику.

Черезъ часъ Гаврила пришелъ съ повивальной бабкой. Мужчинъ она выгнала на улицу. Мы, т. е. Гаврила Матвѣичъ, Степанъ Иванычъ и я, ушли въ одинъ изъ кабаковъ на Апраксинъ переулокъ, устроенный въ подвалѣ. Тамъ уже было человѣкъ двѣнадцать веселящихся. Половина изъ нихъ о чемъ-то спорили, это были большею частью люди, занимающіеся портняжнымъ ремесломъ, худые, съ блѣдными лицами, въ ситцевыхъ и холщевыхъ рубахахъ, трико-выхъ и тиковыхъ брюкахъ и въ халатахъ, не въ такихъ, какіе продаютъ татары, но просто тиковыхъ или коленкоровыхъ. Въ числѣ этихъ пяти человѣкъ былъ одинъ мальчуганъ лѣтъ двѣнадцати, онъ тоже о чемъ-то спорилъ. Остальные или пѣли, или пили водку; большинство ихъ состояло изъ сапожниковъ, тоже съ худыми и блѣдными, немытыми лицами, грязными руками, съ черными фартуками. Изъ нихъ каждый разсуждалъ и спорилъ. Они уже кончили работать и посвятили окончаніе дня Вахусу. Въ кабакѣ пахло чѣмъ-то прокислымъ, отъ табаку душно. Какъ только мы вошли туда, насъ встрѣтили восклицаніями.

— А, наше вамъ! Гаврилу Матвѣичу!

— Здорово, ребята, о чемъ споръ идетъ?

— Да вотъ Павлушка споритъ, што Якова Савельева не въ нынѣшнемъ году въ солдаты отдали.

— Я думалъ, о чемъ-нибудь путномъ. Ну-ка, Тарасъ, про насъ рыбы припасъ, дай-ка косуху!— обратился Степанъ Иванычъ къ хозяину кабака и мимоходомъ поздоровался съ сидящими.

— Какой?

— Извѣстно какой! малороссійской.

Мои товарищи закурили трубки, сѣли къ сапожникамъ и стали толковать; я сѣлъ около нихъ.

— Ну, какъ дѣла, Илюха?

— Дѣла плохія: не вывозитъ.

— Плохо. А этотъ чей съ вами?

— Этотъ сегодня на фатеру переѣхалъ къ намъ.

— Ты по какой части, по торговой?

— Нѣтъ.

— А тебя какъ зовутъ, я и забылъ спросить-то,—спросилъ меня Степанъ Иванычъ.

Я сказалъ.

— Такъ вотъ што: не будешь ли ты за меня торговлей заниматься?

— Чѣмъ?

— А это ужъ мое дѣло. Водку пьешь?

— Пью.

— Ну, пей. Да смотри, торгуй, не плутуй; съ нами, братъ, шутить нечего. Выпьемъ.

Выпили, крякнули, плюнули.

— Я, братъ, Степанъ, сегодня на Александровскомъ славныя брюки вымѣнялъ. Знаешь, тѣ, черныя-то?

— Врешь?

— Ей-Богу. Замазалъ такъ, что мое почтенье. Они мнѣ полтинникъ стоили, а я далъ придачи полтинникъ, какъ есть новыя вымѣнялъ: въ магазинѣ и за восемь не купишь.

— Ну, братъ, дорого далъ.

Говоръ усиливался все болѣе и болѣе; народъ все больше пьянѣлъ и пьянѣлъ; начался крикъ, пѣсни, пляски. Вонъ кого-то ударили, началась драка.

— Савелій! Савелій! отстань,—кричатъ со всѣхъ сторонъ.

— Убью!—ревѣлъ кто-то.

Чувствую, что я пьянъ; боюсь я дракъ, потому могутъ изобидѣть и меня; гадокъ показался мнѣ этотъ кабакъ, и вышелъ я изъ него шатаясь. Сѣлъ я на крылечко у подъѣзда около какой-то торговки калачами.

— Уйди, мазурикъ!—закричала она. Я всталъ въ воротахъ и уперся въ стѣну. Хотя и пьянъ я былъ, а чувствовалъ, что одинъ я въ этомъ городѣ; все мнѣ кажется ново и никакъ я не думалъ попасть въ берлогу, гдѣ бѣдность, нищета, и живутъ Богъ знаетъ какіе люди. Грустно мнѣ сдѣлалось, плакать хотѣлось отъ разгульныхъ пѣсенъ, раздающихся глухо изъ кабака и отъ шарманки, играющей противъ кабака. На панели сидятъ рабочіе, о чемъ-то толкуютъ, несмотря на холодъ; дворникъ мететъ панель и вотъ онъ согналъ ихъ, они пошли въ кабакъ, говоря: «скушно на фатерѣ-то, освѣжимся...» Куда ни поглядишь, все бѣдность, даже и народъ идетъ мимо бѣдный. Вонъ прошла какая-то женщина въ шляпкѣ; молодецъ, вышедшій изъ кабака, остановилъ ее:

— Душенька! пойдемъ.

— Уйди.—И она рванувшись пошла своей дорогой, а молодецъ пошелъ къ воротамъ, пошатываясь и напѣвая: «ахъ, скучно сердцу моему!».

Полѣзли въ кабакъ и женщины... Но Богъ съ ними, пусть лѣзутъ, онѣ не богаче меня.

Мои товарищи вышли изъ кабака пьяные, хотѣлось и мнѣ еще выпить, да денегъ у меня не было. Поплелся и я за ними.

Въ нашей берлогѣ только тускло теплилась лампа, и тяжело было дышать отъ керосину, который Степанъ Иванычъ прозвалъ язвой.

— Катька, а Катька! Опять язву зажгла?— кричалъ онъ.

— Молчи ты, Степка, спитъ она,—проговорила его жена.

— Что-о!!

— Спитъ, тебѣ говорятъ.

— А вотъ!—И Степка хотѣлъ сбросить лампу, но Гаврила удержалъ его.

— Какъ тѣ не стыдно?..—Въ это время запищалъ ребенокъ у Катерины, и Катерина проснулась.

— Слышишь, родила!—сказалъ Гаврила.

— А!!—и Степанъ повалился на полъ.

— Безстыжіе твои глаза. Опять напился,— сказала Катерина больнымъ голосомъ Гаврилѣ, который стоялъ передъ нею, подперши руки фертомъ и покачиваясь. Онъ дико глядѣлъ на жену и осклаблялся.

— Родила! — вскричалъ онъ, покачнулся, но уперся объ стѣну.

— Уйди, лампу прольешь.

Ребенокъ ревѣлъ.

Черезъ полчаса въ лачугѣ раздавался мужской храпъ на разные лады, только два ребенка—Катерины и Маланьи — ревѣли по перемѣнкѣ или вмѣстѣ, и подъ ихъ музыку я скоро заснулъ!

На другой день я проснулся тоже съ крикомъ дѣтей. Гаврилы и Степана въ лачугѣ не было, Маланья Павловна тоже пошла куда-то съ кофейникомъ, уложивъ предварительно ребенка на полъ; остальныя дѣти, мальчикъ лѣтъ трехъ и дѣвочка пяти, играли, ползая по черно-грязному полу; Катерина полусидѣла и качала ребенка, который ревѣлъ. Пришли Гаврила и Степанъ.

— Опять нализался!—сказала Катерина.

— Молчи! не твое дѣло.

— А гдѣ Маланья?—спросилъ Катерину Степанъ.

— За кипяткомъ ушла на кофей.

— Я ей этотъ кофей вышибу. Экъ выдумала!— И онъ, выкуривъ трубку табаку, принялся шить фуражку, а Гаврила сѣлъ за сапогъ.

— Шустрой этотъ Колоколовъ Мишка, въ одно ухо влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ.

— Ну, не такія еще штуки дѣлаютъ. Смотри, какія дѣла дѣлалъ Васька Ивашовъ; посадили вѣдь, судили, а потомъ и выпустили.

— Людямъ счастье.

— А намъ вдвое!—И Степанъ Иванычъ сталъ насвистывать: «за рѣкой, подъ горой».

— Гаврила, дай-ка, гдѣ-то ровно тряпичка была,—сказала ему Катерина.

— Гдѣ?

— Не знаю.

Гаврила сталъ искать тряпичку въ узлѣ подъ подушкой Катерины и, подавъ ей ее, сталъ ласкать ребенка.

— Сынъ?..

— Нѣтъ, дочь.

— Ну, въ воспитательный!

— Что ты, побойся Бога!..

— Ну, ужъ нѣтъ. Кормить я тебя не стану. Эдакъ и отъ ремесла отойдешь.

Пришла Маланья съ кофейникомъ въ одной рукѣ, въ другой она несла фунтъ чернаго хлѣба и четверть бѣлаго.

— Для кого это ты бѣлой-то хлѣбъ взяла?— спросилъ ее мужъ.

— Поди-кось, ребятамъ-то голодомъ быть?

Маланья стала пить кофей, къ ней присоединился и Степанъ съ ребятами.

— Мнѣ бы, Маланьюшка, кофейку, — проговорила Катерина.

— Нельзя, Степановна; ты вечоръ родила.

— Чего же я ѣсть стану?

Пришла бабка, вымыла ребенка, побранила Катерину, что она не лежитъ.

— Не могу я лежать-то; больно.

— Потерпи какъ-нибудь.

— Вотъ кофейку бы попить...

— Ой-ой! какъ можно! Свари овсянку, дешево стóитъ.

— Да гдѣ я ее сварю... Печка-то вонъ какая.

Печки въ комнатѣ не было и она нагрѣвалась отъ сосѣдей, у которыхъ была печь, и отъ этой печи въ комнатѣ былъ только душникъ.

— Сколько же вамъ за хлопоты? — спросилъ бабку Гаврила.

— Вы не безпокойтесь, я еще буду ходить пять дней, если Катерина Степановна поправится, а не то и девять...

— Да вѣдь она и такъ здорова.

— Это ужъ мое дѣло, а не ваше. Я у васъ денегъ не прошу, сколько дадите, столько и ладно.

— Неужели эти молодыя бабки кое-что смыслятъ?—удивлялся Гаврила.

Меня подозвали выпить чашку кофею. Мнѣ совѣстно было объѣдать и опивать бѣдныхъ людей, но я все-таки радъ былъ теплому и особенно даровому. Двое сутокъ, кромѣ рѣдьки, я ничего не ѣдалъ.

Разспросили меня, кто я такой; пожалѣли.

— Такъ какъ же теперь думаешь? — спросилъ меня Гаврила Матвѣичъ.

— Право не знаю. Въ чиновники не пойду; работать стану.

— Ну, братъ, этого не скажи! Ты работать не можешь. Ну, что ты будешь дѣлать?

— Не знаю.

— Ну, то-то. Я вижу, что дѣло твое бѣдное. А вотъ что,—сказалъ Гаврила:—поди завтра на Семеновскій плацъ, продай эти сапоги. Я ихъ купилъ за четвертакъ, товару употребилъ на рубль, продай за пять, а не то за три.

— Ладно.

— Умѣешь торговать? — такъ торгуй: торгуй тамъ, гдѣ народу больше. «Что покупать изволите? сапожки есть, пожалуйте, сапоги хорошіе. Суздальскіе! самые преотличные, пожалуйте!», кричи во все горло. Мы съ тебя и за квартиру не будемъ брать, коли будешь хорошо служить.

Я поблагодарилъ.

Мужчины стали работать; Маланья Степановна пришивала къ фуражкѣ козырекъ, сдѣланный изъ бумаги, на которую наклеено старое, худое сукно, искусно зачерненное. Пошелъ я бродить по Щукину и изучать премудрости торговцевъ.

Часу въ первомъ мужчины выпили водки и стали закусывать: капусту съ салакушкой и жареную ряпушку съ чернымъ хлѣбомъ; Маланья тоже ѣла съ ними, а Катерина пила молоко изъ стакана, закусывая бѣлымъ хлѣбомъ.

На другой день, выпивъ стаканъ перцовки и напутствованный наставленіями Гаврилы Матвѣича, я пошелъ торговать двумя парами сапоговъ на Семеновскій плацъ. Было холодно, но выпивъ стаканъ водки, я какъ-то не чувствовалъ холода, только пальцы ногъ и рукъ щипало. На ногахъ у меня были худые носки, сапоги еще того хуже. Утромъ народу на плацѣ было мало, особенно такихъ, какъ я. Хожу я по мосткамъ и кричу: «Сапоговъ купите! сапоговъ!»

Ко мнѣ подходитъ востроглазый человѣкъ и смотритъ сапоги.

— Много ли просишь?

— За эти пять цѣлковыхъ, за эти четыре съ полтиной.

— Што ты? Не хошь ли полтинникъ?

Я отвѣтилъ ему, показывая кукишъ.

— Да ты изъ какихъ?

— Изъ вашихъ.

— А!—И онъ ушелъ.

Долго я ходилъ взадъ и впередъ, крича во все горло, и смѣшно мнѣ казалось кричать; мнѣ казалось, что я въ это время болѣе похожъ на комедіанта, чѣмъ на торгаша, но что станешь дѣлать! Къ вечеру я изучилъ премудрости торгашества и насмотрѣлся всякой-всячины. Однако я продалъ одни сапоги за три рубля двадцать копѣекъ. За то я ничего не ѣлъ, намерзся, спать хотѣлось. Хозяинъ мной очень остался доволенъ и на радостяхъ угостилъ меня водкой, двумя сосисками и кускомъ ржаного хлѣба.

Итакъ, я изъ чиновника преобразился въ мелкаго торгаша и промаялся двѣ недѣли, днемъ голоденъ, по вечерамъ пьянъ. За то я близко узналъ жизнь бѣдныхъ людей въ Петербургѣ.

Степанъ Иванычъ принадлежалъ къ числу такихъ людей, которые съ дѣтства, привыкаютъ къ холоду, голоду и горю, и въ зрѣломъ возрастѣ

становятся закаленными людьми и терпѣливо сносятъ всякія неудачи, и при всемъ этомъ живутъ все-таки честно. Онъ выросъ у какого-то портного, съ дѣтства пріучился пьянствовать, захотѣлъ жить самостоятельно, и теперь есть у него деньги, онъ пьетъ, сколько хочется, ѣстъ сосиски, печенку, жена и дѣти сыты и одежда есть; нѣтъ денегъ, перебивается кое-какъ, работаетъ усердно, надѣясь, что онъ завтра деньги добудетъ, стóитъ только сходить на Щукинъ или на Семеновскій плацъ. Назадъ тому пять лѣтъ онъ былъ хорошимъ портнымъ, даже имѣлъ работниковъ, но какъ-то разъ его обокрали, денегъ не было, много было долговъ за матеріалы, забранные изъ гостинаго двора, его посадили въ долговое отдѣленіе, гдѣ онъ просидѣлъ два года, и съ тѣхъ поръ, не желая работать на другихъ, сталъ работать одинъ. Работу себѣ онъ достаетъ такимъ образомъ: купитъ на Щукиномъ или на Семеновскомъ плацу брюки, сюртукъ и изъ обѣихъ штукъ составитъ или брюки, или сюртукъ такъ хорошо, что покупатель хотя и подумаетъ, что вещь сдѣлана изъ стараго, а купитъ дешевле, чѣмъ ему нужно шить самому. Такихъ сюртуковъ и брюкъ, а равно и фуражекъ онъ передѣлалъ много изъ стараго въ новое, и такихъ рабочихъ, какъ я замѣтилъ, въ столицѣ очень много. Когда я еще служилъ въ департаментѣ, то многіе чиновники хвастались тѣмъ, что они купили дешево тотъ сюртукъ, тѣ брюки, то пальто, которыя на нихъ, и вещи порядочныя. Какъ Степанъ Иванычъ, такъ и Гаврила Матвѣичъ за трудъ брали немного. Въ провинцію онъ ни за что не хотѣлъ ѣхать, потому что привыкъ къ Петербургу и товарищамъ.

Жена его постоянно жила съ нимъ, и какъ она прежде помогала мужу, такъ и теперь помогаетъ; но она живетъ аккуратно и отъ каждаго рубля кладетъ въ сундучекъ копѣекъ пятнадцать,—иначе ей бы не на что было прокормить ребятъ, потому что она теперь съ груднымъ ребенкомъ не можетъ заниматься торговлей.

Гаврила Матвѣичъ немного крѣпче Степана Иваныча. Онъ хотя росъ такъ же, какъ и его товарищъ, и также былъ подмастерьемъ у нѣмца, но не могъ открыть самъ заведенія и, переставши шляться отъ хозяина къ хозяину, сошелся съ Степаномъ Иванычемъ и сталъ промышлять себѣ хлѣбъ такъ же, какъ и онъ; но онъ былъ крѣпче Степана Иваныча тѣмъ, что любилъ выпить даромъ, даромъ поѣсть, и потомъ заразъ угостить на-повалъ. Жена его, гражданскаго брака, съ нимъ не жила; она занималась прачешнымъ ремесломъ, приходила къ нему по воскресеньямъ и носила ему чай, сахаръ, кофей, и при ея появленіи въ лачугѣ водворялся праздникъ: пили и ѣли на славу, — чего не было въ будни. Гаврила Матвѣичъ часть своихъ денегъ отдаетъ своей Катѣ, на которой онъ все еще думаетъ когда-нибудь жениться. А такъ какъ Катеринѣ Степановнѣ нельзя заниматься прачешнымъ ремесломъ съ груднымъ ребенкомъ, то черезъ двѣ недѣли, окрестивъ его, отдали какой-то женщинѣ въ деревню на воспитаніе за три рубля въ мѣсяцъ, и она принялась опять за свое ремесло.

Въ это время я какъ-то разъ послалъ Кускову письмо такого содержанія:

«Вы довели меня до нищеты, но я еще не нищій; я честнѣе васъ, потому что я достаю себѣ теплый уголъ и хлѣбъ такимъ трудомъ, надъ которымъ вы въ вашей паршивой газетѣ смѣетесь. Идите на плацъ и увидите вашего сотрудника съ сапогами и сюртуками, кричащаго: «сапоги хороши! Сапоговъ купи, г. редакторъ!». Спросите Петьку Кузьмина. Его всѣ знаютъ. Онъ, по вашей милости, пьяницей сдѣлался.

«Какъ-то я прочиталъ одинъ нумеръ вашей паршивой газеты, и позвольте васъ спросить: какое направленіе у вашей плюгавой газеты, какія вы идеи проводите? Въ одномъ мѣстѣ кто-то пишетъ, что вотъ это бы хорошо сдѣлать для цивилизаціи нашего отечества, въ другомъ—вы отвергаете эту пользу, въ третьемъ — говорите чортъ знаетъ о чемъ... Вы думаете, я ничего не понимаю? Эхъ вы, цивилизація парикмахерская!.. Ну, чего вамъ нужно? Кому вы навязываете свои нелѣпыя мыслишки, пропитанныя гнилью... Вы для денегъ завели газету, славу себѣ хотите стяжать... Чѣмъ? А что говоритъ народъ про вашу газету, — даже мы, простые, бѣдные люди, о которыхъ вы пишете въ газетѣ, какъ о мошенникахъ, и которыхъ вы стремитесь искоренить, сами не зная гдѣ зло, откуда оно заводится?

«Мнѣ стыдно, что я писалъ у васъ, и я даю себѣ честное слово, что нигдѣ больше не буду писать. Радуйтесь: я дарю вамъ свои деньги; расплатитесь на нихъ съ бѣдными рабочими вашей типографіи».

Проболтался я до февраля мѣсяца. Кашель душилъ; я похудѣлъ, здоровье плохое. Кромѣ Гаврилы Матвѣича и его благовѣрной, всѣ захворали...

Затѣмъ въ рукописи Кузьмина записанъ расходъ нѣсколькихъ копѣекъ; что-то написанное выдрано, а потомъ идетъ дневникъ:

3-е февраля. Я на другой квартирѣ, въ подвалѣ у кузнеца... Не могу ходить...

23 февраля. Вчера выпустили изъ Обуховской больницы. Съ какою радостью я вышелъ въ городъ на свѣжій, но удушливый воздухъ. Опять я живу съ Гаврилой Матвѣичемъ и продаю его вещи днемъ, по вечерамъ шляюсь по кабакамъ и смотрю народъ. А для чего?.. Дуракъ. Маланья Павловна тоже лежала въ больницѣ да умерла; Степанъ Иванычъ хвораетъ и тоже вѣрно помретъ, бѣдный. Дѣтей Гаврила Матвѣичъ разсовалъ. Живетъ съ нимъ теперь маляръ да еще какой-то портной. Всѣ книги и тетрадки съ чемоданомъ пропали, потому что Андрей Петровичъ уже не живетъ тамъ, и я его не могъ розыскать. Ну да... Жаль только писаній.

Странно, что я нынѣ съ двухъ стакановъ хмѣ-

лѣю. Ахъ, если бы на родину уѣхать!.. А кашель душитъ...

(Послѣ этого что-то написано, но разобрать невозможно; видно, что Петръ Иванычъ писалъ пьяный. На другой страницѣ написано карандашемъ):

...Апрѣль. Опять въ Обуховской больницѣ, въ этомъ кладбищѣ живыхъ людей, вокзалѣ, изъ котораго прямая дорога къ могилѣ. Славное мѣсто!.. Лежу я уже въ другой палатѣ; при мнѣ уже четверо умерли безъ стоновъ, безъ мученій: помучились вы, бѣдные, въ жизни, нечего вамъ смерти страшиться. Такъ и я встрѣчу смерть, можетъ быть, сію минуту. Какая она? По медицинѣ я вычиталъ, что страшилищъ нѣтъ... Умирай, Кузьминъ, умирай, тварь земная, ничтожное твореніе природы, и теперь передъ смертію сознайся, что ты только лягушка, хотящая быть воломъ. Ну, къ чему ты стремился? чего ты желалъ? чего ты достигъ? Ничего, кромѣ того, что ты скорѣе умрешь. Кому ты принесъ пользу?...

...Впрочемъ, къ чему глупыя эпитафіи. Прощайте, люди: всѣ тамъ будемъ!..

Этимъ заканчивается тетрадка. Ею я заканчиваю и записки канцеляриста, съ тѣмъ добавленіемъ, что изданіе газеты «Насѣкомой», по неизвѣстнымъ для публики причинамъ, прекратилось въ томъ же году, вскорѣ послѣ смерти Кузьмина.

Гдѣ лучше?

I.

Зима. Небо заволокло тучами. Дуетъ рѣзкій вѣтеръ. На большой дорогѣ, близъ села Моргунова, никто нейдетъ и не ѣдетъ; только полѣсовщикъ, сидя у своего шалаша, имѣющаго видъ пирамиды, занесеннаго и убитаго для тепла съ трехъ сторонъ снѣгомъ, покуриваетъ изъ трубки махорку и, поплевыя направо и налѣво, сосредоточенно смотритъ на толстое сосновое дерево, одиноко стоящее отъ опушки лѣса, сквозь который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ теперь, въ зимнее время, видятся пустыя пространства, покрытыя толстыми слоями снѣга. Вотъ проѣхала тройка почтовыхъ лошадей, запряженая въ повозку съ заледенѣлою поверхъ ея накладкою, съ почтовымъ ящикомъ и какимъ-то чиновникомъ въ шинели и фуражкѣ съ кокардою; но если бы не колокольцы, то полѣсовщикъ, казалось, и не обратилъ бы вниманія на этихъ проѣзжающихъ. Когда повозка уже скрылась съ изгибомъ дороги изъ вида, полѣсовщикъ всталъ, засунулъ трубку въ карманъ полушубка и сказалъ, глядя на дерево:

— Кабы не начальство,—срубилъ бы я тебя! Ей-Богу... Два бревна бы изъ тебя сдѣлалъ, и полтинникъ былъ бы у меня въ кошелѣ... И знатный бы я купилъ платокъ хозяйкѣ!.. А срубить нельзя, потому всѣ деревья на перечетѣ.

И полѣсовщикъ, почесавши спину, ушелъ въ шалашъ.

Немного погодя, на дорогѣ съ западной стороны показалась небольшая группа людей, шедшихъ вразсыпную. Когда изъ шалаша вышелъ полѣсовщикъ съ чугуннымъ ломомъ, эта группа, состоящая изъ пяти человѣкъ, уже приближалась къ нему. Полѣсовщикъ, положивши ломъ на лѣвое плечо, сталъ разглядывать приближавшихся путниковъ. Впереди шелъ мужчина лѣтъ 48, съ корявымъ широкимъ лицомъ, на правой щекѣ котораго былъ большой шрамъ, съ кудреватыми пепельнаго цвѣта волосами и маленькой бородкой тоже пепельнаго цвѣта, съ большими глазами, густыми сросшимися бровями, съ толстымъ носомъ и бородавкой на ноздрѣ. На немъ надѣтъ былъ тулупъ, сшитый изъ овчинъ и покрытый синимъ, уже облинявшимъ сукномъ. На ногахъ сапоги, на головѣ фуражка, на шеѣ ситцевый платокъ, свернутый на подобіе галстука. За нимъ шелъ человѣкъ лѣтъ двадцати восьми, съ блѣднымъ, привлекательнымъ лицомъ, голубыми умными глазами, съ небольшими усами и пепельнаго цвѣта волосами на головѣ, остриженными въ скобку. На немъ тоже былъ тулупъ, крытый чернымъ сукномъ, съ закинутыми полами за красную опояску; на головѣ фуражка, на ногахъ сапоги. Шагахъ въ двухъ отъ него шла женщина лѣтъ двадцати, съ румянымъ правильнымъ лицомъ, карими глазами. Голова ея была покрыта желтымъ шерстянымъ платкомъ съ радужнымъ кружкомъ, въ видѣ колеса, на затылкѣ; на ней надѣтъ шугайчикъ, подбитый куделею и покрытый зеленымъ тикомъ. Этотъ шугайчикъ покрываетъ только грудь и спину; ситцевый сѣрый съ цвѣточками сарафанъ служитъ дополненіемъ одѣянія; но и сарафанъ этотъ не совсѣмъ прикрываетъ ноги, обутыя въ шерстяные чулки и ботинки. Всѣ трое несли на спинахъ по мѣшочку или узелку разныхъ величинъ, а у второго мужчины кромѣ этого къ мѣшку была привязана пила. За женщиною шли рядомъ два мальчика, изъ коихъ одному было лѣтъ осьмнадцать, другому—пятнадцать. Лицо старшаго было очень блѣдно и худощаво, на немъ выражалась боль; лицо же младшаго было полно, румяно и красиво: въ глазахъ старшаго замѣчалась злость, презрѣніе, въ глазахъ младшаго—хитрость и плутоватость. Костюмами оба мальчика не щеголяли: на обоихъ надѣты были тиковые халаты одинаковаго зеленаго, полинявшаго цвѣта, продранные подъ пазухами и на локтяхъ, отчего у старшаго виднѣлась загрубѣлая сине-красная кожа локтя, а у меньшаго—рукавъ красной изгребной рубахи; на обоихъ были надѣты фуражки съ разорванными бумажными козырьками; на ногахъ старшаго были худые сапоги, на ногахъ младшаго—ботинки.

Первый мужчина поравнялся съ полѣсовщикомъ.

— Здорово, живая душа!—проговорилъ онъ, снявъ фуражку, и пошелъ къ полѣсовщику.

Остальные скучились въ одномъ мѣстѣ, но второй мужчина пошелъ за первымъ.

— Куда Богъ несетъ?—спросилъ, улыбаясь, полѣсовщикъ, глядя на лицо подошедшаго мужчины.

— Туда, гдѣ лучше.

— Ха, ха!

— Да! Вотъ ты и раскуси!.. Небось много лѣтъ по лѣсу шатаешься, а не выдумалъ другого мѣста?

— Што и говорить!—и полѣсовщикъ задумался.

Мужчина сталъ накладывать въ трубку табакъ; полѣсовщикъ тоже вытащилъ свою трубку и подставилъ лѣвую ладонь къ мужчинѣ. Тотъ, не говоря ни слова, насыпалъ на ладонь полѣсовщика немного табаку.

— Скоро ли вы тамъ?—сказала женщина, позаводски растягивая послѣднее слово.

На нее никто не обратилъ вниманія. Мальчики пошли къ шалашу, за ними пошла и женщина.

— Издалека идете?—спросилъ мужчинъ полѣсовщикъ.

— Да верстъ двѣсти будетъ...

— Сперва ѣхали по-цыгански—всѣ вмѣстѣ, то на дровняхъ, то на дровахъ, какъ придется. Да больно тихо и холодно. Пѣхтурой-то лучше!—говорилъ молодой мужчина.

— Такъ вы туда, гдѣ лучше! Гмъ!! Гдѣ же это такое мѣсто?—говорилъ въ раздумьѣ полѣсовщикъ.

— Искать будемъ.

— Это всѣ вмѣстѣ,—всѣ пятеро?! Это хозяйка, молодуха-то?—спросилъ полѣсовщикъ молодого мужчину,

— Хозяйка.

— То-то: лицомъ-то схожи.

— Вретъ! Какая я ему хозяйка: онъ Короваевъ, а я Мокроносова.

Молодой мужчина поглядѣлъ сердито на женщину.

— Чево лицо-то корчишь? Ты напередъ женись на мнѣ да потомъ и хвастайся! — проговорила женщина.

— Однако баба-то у васъ вострая. А должно быть неаккуратная, што у нея башмакъ развязался и завязка э-вонъ-дѣ болтается,—проговорилъ полѣсовщикъ и захохоталъ.

Щеки женщины покраснѣли болѣе обыкновеннаго, и она, отошедши немного, стала завязывать ботинокъ.

— Што жъ, али у васъ своего хозяйства нѣту, што вы пошли? — спрашивалъ полѣсовщикъ путниковъ.

— Было, да разъѣхалось, — сказалъ пожилой мужчина.

— А ты видно столяръ?

— А што? Есть здѣсь гдѣ работа?

— Да оно пожалуй: столяръ не полѣсовщикъ... Вамъ объ этомъ говорить нечего—люди заводскіе, какъ и я, грѣшный человѣкъ. Только у меня въ селѣ Демьяновомъ есть шуринъ: такъ, братецъ ты мой, онъ этимъ рукомесломъ такъ разжился, что мое почтеніе! Сызмальства къ этой работѣ пріучился.

— А ты-то што же торчишь тутъ?

— Э! То-то, ты заводскій человѣкъ, а ума-то у те мало. Што и говорить, коли, разъ, я не обученъ къ такому рукомеслу... топоромъ я мастеръ, а стругать—нѣтъ; а другой: здѣсь все жъ вольготнѣе.

— Такъ онъ какъ, одинъ или съ рабочими работаетъ?

— Одинъ-одинъ, безъ рабочихъ, какъ перстъ... Да и окромя его есть мастера, да ужъ тѣ супротивъ него далеко не въ ходу. А ты не къ намъ ли искать-то счастья идешь?

— Нѣтъ... я посмотрю.

— То-то. Если къ намъ, такъ ты ожжешься. Народъ у насъ вотъ какой: все бы взять... А што до отдачи, такъ на этомъ покорно благодаримъ... Вотъ што!

— Што жъ мы здѣсь на житье што ли пришли?—крикнула женщина.

— Такъ, ты говоришь, мѣсто дрянь? Эдакъ нажить капиталъ нельзя?—спросилъ полѣсовщика пожилой мужчина.

— Ха, ха! Да откуда нажиться-то? Ежели торговлей, такъ торгашей—какъ червей!

— Ну, это еще надо узнать. Прощай, другъ; спасибо за огонь!

И путники пошли, не торопясь, разговаривая другъ съ другомъ. Полѣсовщикъ долго стоялъ въ одномъ положеніи, глядя на удаляющихся путниковъ.

— Ишь ты! Пошли искать, гдѣ лучше! Оказія!—сказалъ онъ и, какъ только скрылись путники, пошелъ въ лѣсъ, говоря самъ съ собою:—гдѣ лучше?.. Посмотрѣть на васъ, такъ плевка не стоите. А тоже чево-то ищутъ... Ахъ, горе, горе!..

II.

Пожилой мужчина, Терентій Ивановичъ Горюновъ—отставной мастеровой терентьевскаго горнаго завода; женщина, Пелагея Прохоровна Мокроносова,—мастерская вдова, племянница Терентья Ивановича Горюнова; мальчики—ея братья: старшій—Григорій Прохоровичъ Горюновъ, младшій—Панфилъ Прохоровичъ Горюновъ. Другой мужчина—мастеровой терентьевскаго горнаго завода, Власъ Васильевичъ Короваевъ.

Всѣ эти лица назадъ тому годъ жили въ терентьевскомъ частномъ горномъ заводѣ и имѣли различныя занятія. Терентій Ивановичъ съ самаго дѣтства слылъ въ заводѣ за чудака, потому что забавлялъ всѣхъ своею непонятливостью и своею смѣшною физіономіею, которая, говорятъ, съ дѣтства была очень уродлива. Поэтому, можетъ быть, онъ вмѣсто рудничныхъ работъ попалъ на посылки къ разнымъ должностнымъ лицамъ завода и въ такомъ положеніи проболтался до двадцатипятилѣтняго возраста, когда у него явилось непреодолимое желаніе жить своимъ умомъ, своимъ хозяйствомъ и имѣть самостоятельный родъ занятій. На первыхъ порахъ онъ могъ выдумать только музыкальное занятіе, т. е. игру на гармоникѣ, на которой лучше его во всемъ заводѣ никто не игралъ. Сталъ онъ разыгрывать въ кабакахъ разныя заводскія пѣсни; а такъ какъ кабаки въ то время существовали отъ откупа, водка была дорога и

скверная, почему въ будни покупателей ея было мало, то цѣловальники придумали такое средство; за каждое посѣщеніе Терентія Горюнова съ музыкой и за игру для посѣтителей, не менѣе десяти человѣкъ, платить ему гривну мѣди. И Терентій Горюновъ ежедневно по вечерамъ, какъ разъ къ тому времени, какъ рабочіе возвращались съ работъ изъ фабрикъ домой, садился на крылечко кабачка и, завидя какого-нибудь рабочаго, начиналъ играть какую-нибудь заунывную заводскую пѣсню, зная напередъ, что у рабочаго и безъ музыки невесело на душѣ. Поровнявшись съ Горюновымъ, рабочій останавливался.

— Што, Тешка, горе великое, плачешь?—спрашиваетъ рабочій.

— Горе мое великое, выпить хочется, да денегъ не ма!—говоритъ Горюновъ и продолжаетъ наигрывать.

— Будь ты проклятая пакля!

Рабочій плюнетъ и пойдетъ.

— А ты заходи: въ долгъ повѣритъ, а я развеселю.

Рабочій подумаетъ-подумаетъ; руки и ноги болятъ отъ работы, кости ломитъ, на душѣ невесело, и зайдетъ въ кабакъ, и если нѣтъ денегъ, цѣловальникъ отпуститъ водки на мѣлокъ.

Мало-по-малу музыка Горюнова производила свое дѣйствіе: за однимъ рабочимъ шли въ кабакъ другіе и, выпивая водки, заставляли его играть на гармоникѣ. И рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы Горюновъ не получалъ отъ цѣловальниковъ по гривнѣ. Но зато эти деньги не легко ему доставались. Не говоря уже о мозоляхъ на пальцахъ, ему постоянно приходилось сносить насмѣшки и ругательства рабочихъ, заключавшіяся въ томъ, что онъ, Горюновъ, нарочно прикинулся дурачкомъ для того, чтобы ему не работать, что онъ вовсе не дуракъ, а первый плутъ во всемъ заводѣ. Хотя Горюновъ и старался доказать, что онъ тоже работникъ, потому что играть цѣлый вечеръ для одного или нѣсколькихъ рабочихъ не шутка, что, забавляя рабочихъ, онъ этимъ самымъ, такъ сказать, выкупаетъ фабричную работу,—но его не хотѣли слушать ни пьяные, ни трезвые. Доходило до того, что пьяные его били за малѣйшее ослушаніе или просто за то, что онъ не умѣлъ угодить имъ игрой, такъ какъ музыка доводила нѣкоторыхъ до остервенѣнія. Однако, какъ ни ругали его рабочіе въ пьяномъ видѣ, онъ все-таки слылъ въ заводѣ за отличнаго игрока, и только непьющіе водки называли его пропащимъ человѣкомъ.

Своею гармоніею, а главное игрой, Горюновъ произвелъ мало-по-малу такое дѣйствіе, что не было въ заводѣ мужчины, который бы хоть разъ не посѣтилъ кабака и не выпилъ тамъ чего-нибудь. Если кто до тѣхъ поръ имѣлъ о кабакѣ дурное понятіе, тотъ съ этого времени находилъ много въ немъ утѣшенія: непьющій водки человѣкъ заходилъ туда потѣшиться надъ пьяными товарищами и выпить за компанію кружку пива, которая стоила грошъ; дома убійственное однообразіе, пискъ дѣтей, ворчаніе старухи-матери; въ кабакѣ—пляски, дружественные разговоры, игра Горюнова на гармоникѣ, пѣсни... И Горюновъ прославился. Но сильно зато его не взлюбили женщины и дѣвицы. По ихъ понятіямъ, Горюновъ былъ самый развратный негодяй, котораго непремѣнно нужно какимъ-нибудь образомъ выгурить изъ завода, потому что онъ развращаетъ мужей, отцовъ, братьевъ, сыновей и жениховъ. Прежде, бывало, мужчины въ свободное время что-нибудь дѣлали дома, а теперь все время проводятъ въ кабакѣ, и если не пьянствуютъ, то играютъ въ карты или въ шашки. Кабакъ не только для взрослыхъ, но и для подростковъ сталъ лучше дома. Прежде, бывало, подростокъ играетъ съ дѣвками на улицѣ въ мячикъ, а теперь сидитъ въ кабакѣ и сосетъ трубку или папироску...И чего-чего не дѣлали бабы и дѣвки заводскія съ Горюновымъ! Мало того, что онѣ ругали его въ глаза, но частенько изъ-за угла выливали на него ушатъ съ водой, хлестали по немъ изъ оконъ мокрыми вѣниками, жаловались на него полицейскому начальству, — ничто не помогло... Но въ жизни всегда бываетъ такъ, что то, противъ чего мы протестуемъ во время нашей скуки, въ другое время намъ нравится. Такъ и безъ Горюнова не проходила ни одна богатая вечеринка или свадьба въ заводѣ, ни одно народное гулянье: тогда Горюновъ нравился всѣмъ своей игрой, нравился женщинамъ своею остротою, дѣвушкамъ шуточками, уморительными разсказами, иногда даже очень некрасиваго свойства, да притомъ онъ не протестовалъ, когда надъ его лицомъ и манерами издѣвались хуже, чѣмъ надъ куклой.

Горюновъ былъ добрѣйшее существо: никто не слыхалъ отъ него никогда не только браннаго слова, но и неудовольствія; онъ всегда казался веселъ, доволенъ своею судьбою. Но никто не зналъ того, что такое занятіе не нравится Горюнову; никто не зналъ, что Горюновъ замышляетъ другой родъ занятій, копитъ гривны, собираетъ всякія бросовыя вещи (что относили къ его дураковатости)... И каково же было удивленіе терентьевцевъ, когда Горюновъ къ масленицѣ соорудилъ для заводчанъ катушку съ горы!.. До тѣхъ поръ катушка существовала на пруду, т. е. ее дѣлали на столбахъ; теперь же Горюновъ разыскалъ въ горѣ такое мѣсто, которое какъ разъ было для этого удобно. Всѣ заводчане бросили старую катушку, кинулись къ Горюнову... Горюновъ торжествовалъ цѣлую масленицу и собралъ не мало денегъ. Деньги эти онъ употребилъ на покупку дома своей любовницѣ, вдовѣ Тюневой, которая торговала на широкой улицѣ калачами и секретно пивомъ и брагой. Всѣ въ заводѣ знали про эту связь, но не обращали вниманія, потому что Горюнова считали за дурачка, а Тюневу—за самую послѣднюю женщину, отъ которой уже нечего ожидать хорошаго. Горюновъ днемъ терся въ ея домѣ, изрѣдка зазывая гостей, угощая ихъ пивомъ и брагой и наигрывая на гармоникѣ, а по вечерамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, являлся къ брату. Семейство брата не только не было недовольно тѣмъ, что Терентій Ивановичъ ничего не помогаетъ въ хозяйствѣ, но ему даже пріятно было то, что онъ приноситъ ему то свѣчку сальную, то булку и утѣ-

щаетъ маленькихъ ребятъ своими прибаутками. Въ семействѣ всѣ любили его, особенно дѣти.

Горюновъ никогда ничѣмъ не хвастался и ничѣмъ не гордился, да и нечѣмъ было; однако рабочіе заключили, что онъ не такой дуракъ, какъ объ немъ думаютъ бабы. Они думали, что Горюновъ не спроста пересталъ играть въ кабакахъ на гармоникѣ. Другіе на его мѣстѣ непремѣнно стали бы пьянствовать, попрошайничать, а онъ нѣтъ. Онъ своей любовницѣ домъ купилъ, а это что-нибудь да значитъ! И хоть бы любовница была молодая да красивая, а то корявая, длинноносая, низенькая ростомъ,—такая, что ее возьметъ замужъ развѣ такой рабочій, которому не на комъ жениться; мало этого, любовница даже бьетъ Горюнова. «Нѣтъ», говорили рабочіе, «Тешка выкинетъ какую-нибудь штуку и удивитъ насъ всѣхъ чѣмъ-нибудь, на то онъ и при полиціи, и при разныхъ начальникахъ на посылкахъ состоялъ, и отъ нихъ вѣроятно что-нибудь да перенялъ»... Пробовали было рабочіе совѣтоваться съ нимъ — никакого не вышло толку: Горюновъ несетъ такой вздоръ, что смѣшно становится, а какъ засмѣются рабочіе, и онъ захохочетъ. Тѣмъ совѣты и кончаются.

Братъ Горюнова былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Онъ сызмалолѣтства работалъ въ рудникахъ, прошелъ всѣ тягости горнозаводской обязательной на помѣщика службы, былъ человѣкъ горячій, справедливый, никому не льстилъ, и отъ этого много терялъ, и наконецъ за одну жалобу, сочиненную писаремъ Мокроносовымъ и подписанную имъ, его назначили въ самыя тяжелыя работы, гдѣ онъ и умеръ, а жена его, ходившая съ жалобой по этому случаю къ горному начальству, не только ничего не выходила, а ее привезли изъ горнаго города связанною, избитою и сумасшедшею.

Въ это время Горюновъ женился на любовницѣ, а племянница его вышла замужъ за писаря Мокроносова. Пелагея Прохоровна была дѣвушка смирная, работящая. Ей нравился писарь, не потому, что онъ умѣлъ играть на гитарѣ, говорилъ складно, умѣлъ разсказывать непонятныя для нея вещи такъ, что она понимала ихъ, но за то, что его любилъ ея отецъ. Самъ Мокроносовъ ничего хорошаго не могъ обѣщать своей невѣстѣ, а только увѣрялъ, что онъ ее будетъ любить, будетъ стараться для ея счастія всѣми силами, а главное — не станетъ пить водку, которую онъ незадолго до свадьбы сталъ употреблять въ большомъ количествѣ. И дѣйствительно, мѣсяца три супруги жили хорошо, но потомъ Пелагея Прохоровна стала замѣчать, что мужъ ея тоскуетъ, попиваетъ понемногу водку, не говоритъ съ ней ласково, а если и скажетъ, такъ съ сердцемъ. Узнала она, что мужа ея притѣсняютъ за то, что онъ возстаетъ противъ разныхъ несправедливостей, дѣлаемыхъ рабочимъ заводоуправленіемъ. Всячески старалась молодая женщина утѣшить своего мужа,—мужъ запилъ, нагрубилъ кому-то, и его назначили куреннымъ рабочимъ; а тутъ еще стали бабы говорить, что онъ связался съ какой-то женщиною. Въ это время умерла ея мать, за долги отца ее съ братьями выгнали изъ дома, и она на первыхъ порахъ поселилась у дяди, который тогда уже занимался торговлею.

Наконецъ мужъ Пелагеи Прохоровны захворалъ и умеръ; она осталась беременна и безъ средствъ, но къ счастью попала на квартиру къ доброй старушкѣ-ворожеѣ, у которой и родила мертваго ребенка. Но этого ребенка не удалось ей увидать, потому что старуха-раскольница бросила его въ прудъ,—на что она имѣла свои причины. У этой-то старухи Пелагея Прохоровна познакомилась съ внукомъ ея, Власомъ Васильевичемъ Короваевымъ, котораго она и прежде нѣсколько разъ видала съ отцомъ.

Короваевъ — столярный мастеръ. Онъ работалъ чисто, хорошо и честно. Человѣкъ онъ былъ добрый, и малѣйшая несправедливость волновала его черезчуръ; но онъ никогда не задиралъ и не вооружалъ начальства, зная хорошо, что изъ этого ровно никакой не будетъ пользы ни ему, ни рабочимъ, а произойдетъ одинъ вредъ. Работу онъ имѣлъ всегда; былъ вхожъ и къ заводскому приказчику—двигателю всего заводскаго дѣла. Онъ былъ холостъ и не хотѣлъ жениться до тѣхъ поръ, пока не будетъ имѣть средствъ откупиться на волю. Пелагея Прохоровна прожила въ его домѣ двѣ недѣли; какъ онъ, такъ и она другъ другу нравились, но между ними даже и рѣчи не заходило ни о любви, ни о женитьбѣ. Короваевъ видѣлъ въ Пелагеѣ Прохоровнѣ женщину молодую, слабую, неопытную, завлечь которую стоило небольшого труда; но ему совѣстно было говорить ей о томъ, чтобы она пріискала себѣ какой-нибудь трудъ, что у него жить она долго не можетъ. Сказать же ей, что она ему нравится и что онъ думаетъ жениться на ней, онъ не рѣшался до тѣхъ поръ, пока не выкупится на волю. Пелагея же Прохоровна думала: «онъ хорошій мастеръ, но человѣкъ гордый. Вотъ бы такой мнѣ мужъ... Только онъ не ласковый». А тутъ вышло такое обстоятельство, что ей нужно было идти къ приказчику хлопотать о провіантѣ братьямъ. Приказчикъ предложилъ ей быть его любовницей и хотѣлъ даже послать за ней лошадь вечеромъ, но вечеромъ же по заводу разнеслась вѣсть, что въ заводъ привезли *волю*. Переполохъ по этому случаю въ заводѣ былъ страшный и продолжался недѣли три, и въ это время Пелагею Прохоровну дядя Горюновъ и Власъ Васильевичъ увезли въ городъ Заводскъ, гдѣ и нашли ей мѣсто кухарки, но сами попали въ острогъ по подозрѣнію въ кражѣ вещей у одного богатаго купца. Въ острогѣ они просидѣли больше мѣсяца, ихъ нашли невиновными, но зато они не получили назадъ денегъ, взятыхъ у нихъ при арестованіи; у Терентія Ивановича пропала въ городѣ лошадь съ телѣгой. Когда же ихъ привезли въ заводъ, какъ бѣглыхъ, то Короваевъ узналъ, что его сестра Василиса сожгла его домъ, уѣхала на рудникъ и живетъ тамъ съ нарядчикомъ, что Григорій Прохорычъ работаетъ на рудникѣ въ шахтѣ, Панфилъ—на фабрикѣ; Горюновъ засталъ свою жену больною, жена сказала ему, что его домъ отбираетъ начальство за его прогулы.

Домъ отъ Горюнова дѣйствительно отняли за то,

что онъ прежде не работалъ на заводѣ и не поставлялъ вмѣсто себя работниковъ, и выдали ему чистую волю. Горюновъ поѣхалъ жаловаться, но ничего не выходилъ, а прожилъ всѣ деньги. Безъ денегъ въ заводѣ ему нечего было дѣлать, а заниматься на фабрикѣ или въ лѣсу онъ не хотѣлъ; Короваевъ тоже не могъ никакъ поправиться, потому что ему мѣсяца три нужно было зарабатывать деньги на инструменты. Обоимъ друзьямъ жизнь опротивѣла въ заводѣ; вездѣ они видѣли несправедливости, народъ сталъ бѣднѣть, воровать, пьянствовать, многіе пошли искать счастья въ другія мѣста.

Поэтому Горюновъ послѣ смерти жены рѣшился идти въ другое мѣсто искать счастья; съ нимъ согласился идти и Короваевъ. Племянники Горюнова тоже обрадовились этому и стали проситься съ нимъ. Горюновъ и Короваевъ рѣшили поосмотрѣться въ городѣ. Но въ городѣ рабочихъ рукъ оказалось такъ много, что не только нашимъ терентьевцамъ, но и многимъ другимъ трудно было достать какую-нибудь работу. Нельзя сказать, чтобы работы не было; но при наплывѣ рабочихъ со всѣхъ сторонъ плата за работу дается небольшая, прежніе рабочіе стараются держаться прежнихъ мѣстъ, а болѣе ловкіе оттираютъ отъ работы простаковъ. Горюновъ и не искалъ для себя работы,— ему хотѣлось торговать, потому что и прежде онъ торговалъ гвоздями, мѣдною посудою, фальшивыми серебряными вещами; но такъ какъ теперь у него ничего не было для продажи, то нечего было и думать о торговлѣ. Походилъ онъ по городу съ недѣлю; навѣстилъ знакомыхъ мастеровъ, которымъ прежде продавалъ камни—аметистъ, топазъ и пр., хотѣлъ купить у нихъ выдѣланныя вещи, но мастера страшно дорожились. Поступить же куда-нибудь въ лавку приказчикомъ Горюновъ не могъ, потому что въ приказчики принимаютъ людей знакомыхъ, по рекомендаціямъ. Такъ Горюновъ и прожилъ безъ дѣла съ мѣсяцъ. Короваевъ тоже не могъ найти выгодную работу, потому что въ городѣ очень много цеховыхъ мастеровъ и работать на продажу безполезно. Счастливѣе ихъ были Григорій и Панфилъ: они попали въ извозчики, съ платою въ мѣсяцъ по три рубля.

Положеніе Горюнова и Короваева было довольно неказистое: деньги выходили, а достать неоткуда...

— Здѣсь сколько хошь живи, ничего не наживешь. Этотъ городъ просто помойная яма! — говорилъ Горюновъ.

— Да, Терентій Ивановичъ! Были мы съ тобой люди опытные когда-то.

— Не мы этому виноваты... Однако надо идти въ другое мѣсто. Вотъ что я придумалъ: вѣдь у тебя много знакомыхъ съ золотыхъ пріисковъ. Не махнуть ли намъ туда?

— Знакомые есть, только развѣ они помогутъ?.. Развѣ въ ихней волѣ давать намъ плату?

— Ты не то судишь! Мы будемъ имѣть золото...

— Я на это не согласенъ. Лучше идти въ другое мѣсто, гдѣ меньше городского народа.

— Постой! я мальчикомъ былъ въ селѣ Моргуновѣ, — тамъ соль добываютъ. Работы страхъ какъ много.

— Не лучше ли намъ идти на пушечный заводъ? Онъ, говорятъ, только-что начинается.

— Нѣтъ, ужъ я туда не пойду, тамъ рабочихъ теперь много. Ужъ если здѣсь ихъ много, то тамъ и еще больше, а въ Моргуновѣ должны быть свои люди.

Черезъ два дня послѣ этого разговора, поразспросивши у разныхъ рабочихъ, гдѣ лучше жить, Короваевъ и Горюновъ рѣшили идти на соляные промыслы. Но оставалось еще одно затрудненіе:

— Мы какъ пойдемъ: одни или нѣтъ? — спросилъ Короваевъ и Горюнова.

— Это ты насчетъ нашихъ-то спрашиваешь... Оно конечно лучше, если всѣ вмѣстѣ будемъ жить. Только ты самъ разсуди... баба!

— Ну, съ Пелагеей Прохоровной мы, можетъ быть, и поладимъ.

— То-то, чтобы не вышло чего-нибудь...

Горюновъ пошелъ на квартиру Пелагеи Прохоровны. Она еще очень недавно поступила въ кухарки къ женѣ столоначальника и говорила, что хуже этого мѣста она нигдѣ въ городѣ не имѣла. Но, какъ ни тяжела была жизнь въ кухаркахъ, ей все-таки не хотѣлось уходить изъ города, къ которому она начинала привыкать. Поэтому, когда Горюновъ сдѣлалъ ей предложеніе, чтобы идти вмѣстѣ съ нимъ, братьями и Короваевымъ въ другое мѣсто, она долго не соглашалась, и Горюновъ убѣдилъ ее только тѣмъ, что она будетъ сама хозяйка, не намекая впрочемъ на Короваева.

Въ это время у Пелагеи Прохоровны былъ уже короткій знакомый, дворникъ сосѣдняго съ ея хозяйкою дома, Егоръ Максимовичъ. Ему было годовъ подъ сорокъ, но онъ былъ еще красивый мужчина. Часто, какъ только Пелагея Прохоровна пойдетъ куда-нибудь, Егоръ Максимычъ выходилъ изъ калитки, кланялся ей и говорилъ любезности. Случалось по вечерамъ, когда не было дома хозяина и хозяйки, Пелагея Прохоровна сидѣла на лавкѣ рядомъ съ Егоромъ Максимычемъ и разговаривала о заводской жизни, о своей барынѣ и т. п.; но Егоръ Максимычъ велъ себя прилично и никогда не дозволялъ себѣ сказать какое-нибудь неприличное слово. Егоръ Максимычъ былъ вдовъ и имѣлъ уже взрослую дочь. Поэтому ей никакъ не приходило въ голову, чтобы онъ могъ предложить ей выйти за него замужъ; ей просто нравилось говорить съ хорошимъ человѣкомъ, посовѣтоваться съ нимъ.

Собралась Пелагея Прохоровна совсѣмъ, распростилась съ хозяйкой и пошла къ Егору Максимычу.

— Куда это?—спросилъ тотъ, точно въ испугѣ.

— Искать доброе мѣсто—гдѣ лучше!

— Здѣсь, въ городѣ?

— Нѣтъ. Дядя съ собой зоветъ.

— Напрасно, Пелагея Прохоровна... А я на тебя надѣялся...

— Хуже этой барыни ужъ едва ли я еще кого найду... Ужъ теперь я въ кухаркахъ не буду жить.

— Ну, это еще вилами писано!.. А я на тебя крѣпко полагался...

— Что такъ?

— Да такъ... Думаю, баба молодая, красивая... работящая... А я вдовъ.

— Ну?!

— Неужели ты не догадываешься?

Пелагея Прохоровна захохотала и сказала:

— Полно-ко, Егоръ Максимычъ! Ровня ли я тебѣ: мнѣ двадцатый годъ, а тебѣ сорокъ четвертый...

— Только тридцать восемь... Подумай, Пелагея...

— Покорно благодарю.

— Напрасно ты идешь! Обманетъ тебя дядя,— помяни меня!

Пелагея Прохоровна ушла. Дорогой сперва предложеніе дворника смѣшило ее, но потомъ ей сдѣлалось стыдно: «и какъ это я не замѣчала, что онъ лебезитъ около меня для того, чтобы опутать меня. Поди, тамъ всѣ про меня говорятъ нехорошо... А я, дура, говорила ему обо всемъ, думала, что онъ хорошій человѣкъ. А онъ на, поди! Женишокъ!.. Ужъ если и идти замужъ, такъ за молодого, а то... И выдумалъ же вѣдь, что я пойду за него: ты-де бѣдная, а у меня деньги есть...»

Черезъ день послѣ этого они отправились съ Григорьемъ и Панфиломъ въ дорогу. Дорогой они больше молчали, потому что о прошедшемъ говорить не стоило, а въ будущемъ неизвѣстно, что будетъ. Всѣ, каждый порознь, надѣялись, что гдѣ-нибудь да найдутъ они хорошее мѣсто. Теперь у каждаго изъ нихъ болѣе прежняго было привязанности другъ къ другу и ко всѣмъ вообще, потому что прежде они жили порознь, каждый пріобрѣталъ средства самъ собой, а теперь идутъ они всѣ вмѣстѣ, и Богъ знаетъ, кому изъ нихъ будетъ лучше? Но никто такъ не нравился Пелагеѣ Прохоровнѣ, какъ Короваевъ. Ей нравился его высокій ростъ, его широкіе, мѣрные шаги, его лицо и глаза, съ любовью смотрящіе на нее въ то время, когда онъ оборачивается; но не нравилось ей то, что онъ ничего не говоритъ съ ней, а если и говоритъ, то при дядѣ... И хочется ей сказать ему, что за нее сватался дворникъ, ждетъ она удобную минуту, но когда дядя и братья отойдутъ далеко, ей сдѣлается неловко: «ну, хорошо ли говорить ему объ этомъ? Стыдъ! Еще подумаетъ, Богъ знаетъ что». А если и взглянетъ на нее Короваевъ, встрѣтятся ихъ взгляды,— сердце Пелагеи Прохоровны точно ожжетъ что.

III.

— А скверно, что мы не спросили, гдѣ лучше остановиться,—сказалъ Короваевъ, когда онъ и его сотоварищи свернули съ большой дороги на проселочную, идущую между мелкимъ кустарникомъ березника.

— Э! Мы не богачи какіе!.. Обглядимся, тогда и устроимся,—сказалъ Горюновъ.

Мало-по-малу стали рѣдѣть и кустарники. Наконецъ путниковъ охватилъ рѣзкій сильный вѣтеръ съ лѣвой стороны, и передъ ними открылась широкая равнина. Это ровное мѣсто походило не на поле, а скорѣе на озеро, потому что справа и слѣва виднѣлись небольшія возвышенности, частью покрытыя кустарникомъ, а въ серединѣ равнины виднѣлась вода; въ одномъ мѣстѣ даже росъ тощій мелкій кустарникъ, и отъ него до какого-то мѣста стояли столбы. Но не это заняло путниковъ. Налѣво отъ дороги строилось много барокъ: тамъ и сямъ пилили доски, обтесывали бревна; народъ копошился, и воздухъ оглашался стукомъ топоровъ, шарканьемъ пилъ, дружными возгласами нѣсколькихъ голосовъ въ разъ: «дернемъ, подернемъ...» Наши путники не сводили глазъ съ рабочихъ и наконецъ подошли къ одной кучкѣ.

— Богъ на помочь!—сказалъ Горюновъ.

Рабочіе посмотрѣли на пришедшихъ, не переставая работать, и ничего не сказали.

— По чемъ робите?

— По шести рублевъ въ мѣсяцъ...

— Маловато.

— И это слава Богу. А вы не здѣшніе-што ли?

— Какъ не здѣшніе? Любопытно стало — вотъ и спросили.

— Есть тутъ чего любопытнаго.

И путники пошли.

— А эта работа намъ не съ руки... У насъ тоже строятъ барки, да только отъ нихъ много не поживишься!—проговорилъ Короваевъ.

— Я помекаю: нельзя ли мнѣ тутъ какую выгоду пріобрѣсти,—сказалъ въ раздумьи Горюновъ.

Мало-по-малу передъ ними вырастало село, расположенное частью на низкомъ, частью на холмистомъ мѣстѣ; но виднѣлись только крыши и колокольни двухъ церквей, остальное же закрывалось рядомъ множества высокихъ столбовъ съ перекладинами, насосовъ, варницъ и высокихъ въ три яруса амбаровъ.

Наши путники подошли какъ разъ къ промысламъ, находящимся на берегу рѣки Дуги. По самому берегу, на невысокихъ, убитыхъ деревомъ со сваями набережныхъ, стоятъ огромные соляные амбары; на водѣ стоятъ затянутые льдомъ два парохода, нѣсколько судовъ и готовыхъ уже барокъ или барокъ строящихся; между амбарами и набережными вездѣ ѣдутъ или съ дровами, или съ порожними дровнями. Далѣе, внутрь отъ амбаровъ, идутъ длинныя лѣстницы къ варницамъ; между ними стоятъ насосы, а разстоянія между лѣстницами и насосами заняты дровами, бревнами, досками, кирпичомъ. Здѣсь рабочихъ почти не видать; но зато здѣсь пахнетъ сѣрой, и, несмотря на холодъ, коегдѣ съ насосовъ и крышъ сочится разсолъ и съ сосульками отваливается на сырой снѣгъ.

Походили путники по варницамъ, высмотрѣли все, что имъ дозволили посмотрѣть, и между прочимъ узнали, что и здѣсь рабочіе перебиваются коекакъ, и здѣсь плата за трудъ небольшая, и поэтому рѣдкій рабочій не находится въ долгу у тѣхъ, которые нанимаютъ его работать.

— Вездѣ вѣрно одно,—сказалъ Короваевъ.

— Посмотримъ. Земля-то не клиномъ сошлась,— замѣтилъ Горюновъ.

— Коли у тебя денегъ много — можно весь свѣтъ пожалуй обойти.

— И не ходи! — сказалъ Горюновъ, обернувшись къ Короваеву. Прошли они церковь; недалеко отъ церкви увидали постоялый домъ. На постояломъ никого теперь не было, и хозяйка очень обрадовалась, что къ ней пришло много гостей.

— Ну, что ты съ насъ возьмешь за постой?— началъ Горюновъ.

А долго вы проживете?

— Не все же мы у тебя будемъ... Мы надолго пришли сюда, своимъ домкомъ надо будетъ заводиться.

— Что жъ, дѣло хорошее. Прежде у насъ все свои робили на промыслахъ, а послѣ воли столько наѣхало заводскихъ, что бѣда! Есть даже и такіе, кои и домà себѣ настроили.

— Ишь ты!

— Ей-Богу! Только народъ — собака, нашимъ промысловымъ не уступитъ: нашъ-то еще думаетъ, какъ бы ему мѣшокъ съ солью утащить, а тотъ ужъ этотъ мѣшокъ утащилъ. Право!

— И всѣмъ дѣло есть?

— Теперь поменѣ стало, потому съ волей господа крѣпко прижались: гдѣ бы нужно всѣ варницы пустить, а они только четверть. Оттого и соли поменѣ, и рабочимъ мало даютъ. Теперь-то мало работы; а то весной и бабамъ много работы.

Послѣ обѣда молодежь, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна, улеглась спать, а Короваевъ съ Горюновымъ пошли въ село.

— На постояломъ-то дворѣ невыгодно жить, Терентій Ивановичъ, — сказалъ Короваевъ Горюнову.

— Надо будетъ поискать квартиру.

— Только я съ вами жить не буду.

— Это дѣло твое, а я тебя не неволю. Только мы съ тобой еще походимъ, поглядимъ, что за народъ здѣсь.

Отправились они въ харчевню. Тамъ четверо мастеровыхъ пили чай. Короваевъ и Горюновъ сѣли къ столу недалеко отъ мастеровыхъ.

— Ежели мнѣ теперь Усольцевъ не заплатитъ, я его камнемъ.

— Ну, не горячись. Ужъ ты эту пѣсню давно поешь!

— Не вѣришь?

— А помнишь, какъ онъ съ Агашки-то платокъ содралъ, какъ ты расходился? И ничего!

— Агашка сама съ нимъ раздѣлалась.

— Полно!! Агашка, извѣстно, поругалась-поругалась, да и только. А што наша ругань? Нѣтъ, ты бы его смазалъ хорошенько.

— Я его съ лѣстницы!

— Дуракъ! Съ лѣстницы спустишь—въ острогъ попадешь! Не такъ ли? — спросилъ мастеровой, обращаясь къ Короваеву.

— Чево и говорить.

— А вы не здѣшніе? Видно, на работы пришли?

— Да.

— То-то!

— Ну, и обожглись значитъ. Заводскіе?

— Заводскіе. Только жить-то тамъ нельзя покосы и дома отняли; совсѣмъ разорили.

— Скверно. А все-жъ на одномъ мѣстѣ лучше, я тѣ скажу — потому все свои: свои и выдадутъ и выручатъ. Такъ ли?

— Это такъ. Только больно непріятно, когда ѣсть нечего.

— Полно-ко! Коли бы жрать нечего было, не пилъ бы чай...

— Это можно себѣ позволить. Иной послѣднія деньги на водкѣ пропиваетъ.

— Дѣло, братецъ, говоришь. Какимъ же ты ремесломъ думаешь заняться?

— Да надо приглядѣться. Я—столяръ.

— Баринъ!

— Почему баринъ?

— Потому что тяжелой работы не знаешь, съ господами знаешься. Съ такими людьми мы компанства не водимъ; а потому дабы повелѣно было, не доводя до грѣха, убираться вашему брату, стругалу, по-добру, по-здорову!— И мастеровой подошелъ къ Короваеву.

— Однако ты видно по гражданской печати обученъ?—проговорилъ, смѣясь, Короваевъ.

— А это видишь?—сказалъ мастеровой, показывая черный кулакъ.

— И свои имѣемъ.

— Тебѣ говорятъ—уходи, потому эта харчевня наша: здѣсь все промысловые, съ поносовскаго промысла.

— Чѣмъ же мы вамъ мѣшаемъ?

— Мѣшаете, да и все тутъ.

— Послушайте! Уходите добромъ... Наши скоро придутъ; ихъ много: ихъ не заговоришь и не переборешь.

Короваевъ и Горюновъ не шли. Мастеровые стали шептаться. Немного погодя, одинъ изъ нихъ вышелъ.

— Понимаешь?—сказалъ шопотомъ Короваевъ Горюнову.

— Гармонійку-то я забылъ, вотъ што скверно!—отвѣчалъ Горюновъ.

Вдругъ въ харчевню вошло человѣкъ пять рабочихъ. У двоихъ за кушаками были засунуты сырые сѣрые мѣшки, остальные ничего не имѣли при себѣ.

— Гдѣ? Эти?!—крикнулъ дюжій рабочій и подошелъ къ Короваеву и Горюнову, которые держали въ рукахъ блюдечки съ чаемъ.

— Кто вы такіе?—крикнулъ рабочій, уперши руки въ бока и разодвинувъ ноги.

Остальные окружили столъ, за которымъ сидѣли Горюновъ и Короваевъ.

— А ты изъ какихъ, изъ полицейскихъ?— спросилъ Короваевъ, поставивъ блюдечко.

— Изъ полицейскихъ.

— Ну, такъ иди туда, откуда пришелъ!

— Ты зубы-то не заговаривай, а коли тебя турятъ (гонятъ), такъ пошелъ!—проговорилъ другой рабочій.

— Никто меня не воленъ гнать, потому я такія же деньги плачу, какъ и всѣ.

— То-то не такія. Афанасьичъ не возьметъ съ васъ того, что онъ съ насъ беретъ.

— Извѣстно. Съ не-нашихъ всегда вдвое, — сказалъ хозяинъ харчевни и захохоталъ.

— То-то и есть. Вы должны быть благодарны, что мы вашему хозяину барышъ доставили. Не приходи бы такихъ дураковъ, какъ мы,—пришлось бы закрывать заведеніе.

— Охъ ты, оселъ!.. Много ты передашь!.. Хорошій человѣкъ водку беретъ, а то пришли, взяли чаю на гривенникъ, да и сидятъ цѣлый день! — проговорилъ хозяинъ и подошелъ къ столу.

— Эй! кто изъ васъ водку пьетъ—угощу! Знай терентьевскаго Горюнова! — сказалъ Горюновъ, вставши, и сдѣлалъ такую гримасу, что всѣ смотрѣвшіе на него захохотали.

Скоро явился полуштофъ; по выпитіи изъ него по стаканчику рабочіе уже не ругались съ терентьевцами, а дружно разговаривали. Отъ нихъ они узнали, что соляные промыслы находятся въ трехъ селеніяхъ, отстоящихъ въ недалекомъ разстояніи одно отъ другого—Моргуновѣ, Притыкинѣ и Демьяновѣ. Изъ нихъ первые два принадлежали пяти разнымъ владѣльцамъ, а Демьяново—казнѣ. Сами господа никогда не жили въ своихъ селахъ, а нѣкоторые изъ нихъ даже и не бывали въ нихъ. Они жили или заграницей, или въ столицахъ, а потому всѣми дѣлами заправляли управляющіе съ приказчиками, которые были или мѣстные купцы, или отставные чиновники и обращались съ рабочими, какъ настоящіе господа. Но этихъ господъ рабочимъ приводилось видать на промыслахъ очень рѣдко, разъ или два въ годъ; настоящими же хозяевами были смотрителя, нарядчики и т. п. мелюзга, которая изъ каждаго рубля, изъ каждой рогожи или куля старалась пріобрѣсти въ свою пользу копейку. Они обсчитывали рабочихъ ежедневно; жалобы на нихъ не принимались или оставались безъ уваженія, и если, несмотря на это, рабочихъ всегда много было на промыслахъ, такъ потому только, что имъ нечего было ѣсть: куда ни пойди, всѣ работы находятся въ рукахъ этихъ піявицъ, напр. постройка барокъ, судовъ, караулы, очистка льда и т. п.; даже торговлю всю они забрали въ свои руки. Изъ всего этого Горюновъ вывелъ то заключеніе, что ему здѣсь ничего не пріобрѣсти, и крѣпко призадумался.

Печальные вышли изъ харчевни Короваевъ и Горюновъ: не того они ждали здѣсь. Имъ хвалили промысла.

— Надо попробовать,—сказалъ Горюновъ.

— Нечего тутъ и пробовать,—проговорилъ сердито Короваевъ.

— Что-жъ дѣлать-то?

— А я думаю идти въ другое мѣсто. Пойду въ м—скій заводъ. Если тамъ не повезетъ на столярномъ ремеслѣ, я буду пушки лить.

— Полно-ко, Власъ Васильичъ!

— Это будетъ вѣрнѣе... Говорятъ, тамъ даютъ 75 коп. поденщины.

— Враки!

— Ну, а если не повезетъ тамъ, и дальше пойду... Мнѣ мастеръ Подкорытовъ сказывалъ, что кромѣ Петербурга нигдѣ нѣтъ такихъ мѣстъ, гдѣ бы можно хорошо заработать деньги одинокому человѣку. Только идти туда далеко.

— И все-таки твой мастеръ нажился на гранильной фабрикѣ, не въ Петербургѣ...

— Што-жъ ему было дѣлать, когда онъ былъ сосланъ туда?

— Какъ знаешь, а я здѣсь останусь... Попробую.

Домой они пришли часу въ девятомъ вечера. Григорій, Панфилъ и Пелагея играли съ хозяйкой въ карты у зажженной лучины.

— Ну ужъ и село... Дрянь, говорятъ,—сказалъ Горюновъ.

— Кто это сказалъ? Небось мастерки! О, они никому добра не пожелаютъ, — сказала хозяйка, сдавая карты.

— Да это и видно. Самыя строенія, что есть, нисколько отъ нашихъ домовъ не отмѣнились. Да вотъ мы давеча шли — почти на каждомъ углу нищій.

— Стоитъ на это обращать вниманіе; извѣстно, нищій лѣнтяй!

— А если онъ на костыляхъ?

— Мало ли ихъ вонъ пьяныхъ: зимой, какъ обрубки какіе, на улицахъ валяются. Поневолѣ не только ноги, а и руки отморозишь.

— А я, Пелагея Прохоровна, завтра въ путь,— сказалъ Короваевъ, обращаясь къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Куда?—крикнули Григорій и Панфилъ.

Лицо Пелагеи Прохоровны поблѣднѣло, и она не могла ничего выговорить.

— Пойду въ м—скій заводъ.

— А какъ же ты все тараторилъ: «въ Моргуновѣ хорошо, лучше Моргунова другого мѣста нѣтъ»?—сказалъ Григорій Прохорычъ.

— Мало ли что̀ говорили мнѣ люди.

— Попросту скажи: съ вами, молъ, не хочу вмѣстѣ робить,—сказала Пелагея Прохоровна измѣнившимся отъ внутренняго волненія голосомъ.

— Ну, это еще не доказано, — сказалъ Короваевъ и сталъ укладываться на лавкѣ.

Хозяйка спросила: будутъ или нѣтъ они ужинать. Ужинать никто не хотѣлъ. Всѣмъ было не то скучно, не то неловко. Горюновъ курилъ трубку за трубкой; Короваевъ лежалъ на лавкѣ и что-то соображалъ, часто перебирая пальцы; Григорій и Панфилъ лежали на полатяхъ на животѣ и, глядя на Пелагею Прохоровну, старались разсмѣшить ее. Пелагея же Прохоровна складывала желтый платокъ, который у ней въ дорогѣ былъ надѣтъ на голову; по этому складыванію замѣтно было, что у ней мысли не въ порядкѣ.

«Это онъ нарочно уговорилъ дядю идти сюда, чтобы потомъ самому легче уйти въ другое мѣсто. Онъ знаетъ, что дядя ужъ не пойдетъ въ другое мѣсто. Онъ и прежде такой былъ: все бы ему лучше, все особливо отъ другихъ робилъ... И деньги большія имѣлъ... И теперь у него должны быть

деньги, потому онъ хотѣлъ раньше на волю откупиться, только, говоритъ, деньги сестра украла. Вретъ! Нѣтъ, онъ боится, чтобы мы у него не попросили денегъ. Должно быть, дядя просилъ у него денегъ».—И она вызвала дядю на крыльцо.

— Дядя! ты не просилъ ли у Короваева денегъ?—спросила она Горюнова.

— Съ какой стати я у него буду просить денегъ,—сказалъ тотъ сердито.

— Я думаю, онъ боится, чтобы мы не попросили у него денегъ, потому и идетъ въ другое мѣсто.

— То-то ты, баба, не въ свое дѣло вмѣшиваешься. Иди лучше спать, а завтра пойдемъ въ варницы, можетъ быть какую-нибудь работу достанемъ.—И Горюновъ ушелъ въ избу.

Пелагея Прохоровна успокоилась немного. Она знала, что дядя хотя и прикидывается дуракомъ, но всегда говоритъ правду. И ей стало досадно, что она до сихъ поръ такъ много думала о Короваевѣ, который, какъ надо полагать, о ней вовсе не думалъ, потому что, если бы онъ думалъ о ней, то не сказалъ бы ей, что идетъ отсюда въ другое мѣсто, не проживши здѣсь даже и сутокъ. И сказалъ-то какъ, точно онъ куда-нибудь въ лавку или на улицу уходитъ. А она считала его за своего человѣка: онъ ей нравился: человѣкъ молодой, высокій, степенный, непьющій, работящій...

И какъ ни старалась Пелагея Прохоровна успокоить себя, а заснуть не могла долго: Короваевъ разобидѣлъ ее. «Въ самомъ дѣлѣ, что я о немъ думаю? Онъ мнѣ чужой, и я ему чужая. И что я сержусь-то на него? Мало ли кто нравится, да я-то ему не нравлюсь».

Пелагея Прохоровна ворочалась съ боку на бокъ, такъ-что полати скрипѣли. Дядя и братья ея храпѣли.

— Оказія!.. Это оттого не спится все, что даве спала... — проговорила шопотомъ Пелагея Прохоровна.

— Не спишь?—произнесъ негромко Короваевъ.

Пелагея Прохоровна притаилась, т. е. старалась не шевельнуться, не вздохнуть тяжело, чтобы Короваевъ, думалъ, что она спитъ.

«Погоди!.. Коли ты гордецъ, и я буду такая», подумала Пелагея Прохоровна.

— Не спишь, говорю?—произнесъ такъ же негромко Короваевъ.

«Ладно!» подумала Пелагея Прохоровна, улыбаясь. Но черезъ полчаса она уже сожалѣла о томъ, что не отозвалась на голосъ Короваева, а потомъ, пораздумавши, пришла опять къ тому заключенію, что хорошо сдѣлала.

«Если онъ хочетъ говорить со мной, отчего онъ не говоритъ днемъ!.. Ишь, нашелъ время! Проснется дядя или который-нибудь изъ братьевъ, что они подумаютъ? Ему ничего, а мнѣ каково?.. Можетъ, онъ при нихъ не хочетъ говорить»...

Тутъ припомнились ей сцены съ писаремъ, который старался какъ-нибудь поговорить наединѣ; припомнилась ей сцена, какъ писарь пололъ съ ней гряды въ огородѣ: сперва на другомъ концѣ гряды былъ, а потомъ мало-по-малу все приближался къ ней, ползъ, ползъ—да и обнялъ ее... Посмотрѣла она послѣ на гряду: писарь только видъ дѣлалъ, что онъ выдергиваетъ траву, потому что травы нисколько не выдернуто.

«Ну, такъ зато былъ тотъ женихъ. Тотъ раньше говорилъ мнѣ, что онъ жить безъ меня не можетъ».

Такъ всю ночь и не спалось Пелагеѣ Прохоровнѣ. Въ четыре часа поднялся Короваевъ. Ночь была лунная, и луна хорошо освѣщала избу. Короваевъ одѣвался. Пелагеѣ Прохоровнѣ хотя и хотѣлось спать въ это время, но она вышла во дворъ, чтобы ей не спать. Она сама не могла хорошенько понять, зачѣмъ ей нужно прощаться съ Короваевымъ... Вышла она во дворъ. Во дворѣ, крытомъ навѣсомъ, было темно, хоть глаза выколи. Наткнулась она на что-то, уперлась и заплакала. Одно только она думала, что несчастнѣе ея нѣтъ женщины: съ дѣтства она не видала свѣтлыхъ дней, съ мужемъ было еще больше горя, и только, живя у Короваева, она отдохнула немного, а потомъ опять пошла тяжелая жизнь... Не съ кѣмъ ни поговорить хорошенько; не съ кѣмъ посовѣтоваться, какъ слѣдуетъ; никто не приласкаетъ ее.

— Пелагея Прохоровна! Ты гдѣ?—услыхала она голосъ Короваева.

Слезы болѣе прежняго пошли изъ глазъ Пелагеи Прохоровны. Она рыдала.

— Ну, о чемъ ты плачешь, Пелагея Прохоровна?—проговорилъ Короваевъ, ощупавъ въ темнотѣ Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна очнулась. Ей и стыдно, и досадно сдѣлалось, что ее поймали на мѣстѣ въ слезахъ.

— Тебѣ что за дѣло?—проговорила она неровнымъ голосомъ.

— Можетъ быть, и есть дѣло... Вѣдь я слышалъ, что ты не спала всю ночь.

— Потому и не спала, что кусали.

— Полно-ко, Пелагея Прохоровна... Однако вотъ что я тебѣ долженъ сказать одинъ на одинъ. Тебя я знаю давно, и ты меня знаешь... Пелагея Прохоровна... пошла ли бы ты за меня замужъ?

— Вотъ ужъ!..—сказала Пелагея Прохоровна, не зная, что сказать въ эту критическую минуту.

— Скажу тебѣ одно, что теперь я не могу жениться, потому что у меня ничего нѣтъ, кромѣ пилы да долота. Теперь я пойду добывать себѣ капиталы, и если Богъ мнѣ поможетъ, да ты не выйдешь замужъ, тогда... А до той поры прощай... Дай мнѣ руку...—Голосъ Короваева дрожалъ; онъ говорилъ, точно у него давно накипѣло въ душѣ.

Когда Пелагея Прохоровна протянула ему руку, онъ крѣпко пожалъ ее и сказалъ:

— Твой дядя едва ли долго проживетъ здѣсь... Онъ думаетъ идти на золотые, но я тебѣ идти туда не совѣтую... Здѣсь будетъ лучше, потому что здѣсь и бабы работаютъ... Подожди съ мѣсяцъ, а я поживу въ М. и пришлю тебѣ въ варницы съ кѣмъ-нибудь вѣсточку о своемъ житьѣ. Прощай!—Короваевъ пожалъ крѣпко руку Пела-

геи Прохоровны, выпустилъ ее и пошелъ къ калиткѣ.

— Ты ужъ развѣ совсѣмъ?—спросила съ испугомъ Пелагея Прохоровна.

— Совсѣмъ. Кланяйся дядѣ и братьямъ... Тамъ на столѣ я оставилъ хозяйкѣ деньги за постой.

Послѣднія слова Короваевъ говорилъ уже на дорогѣ.

Пелагея Прохоровна остановилась въ калиткѣ и стала смотрѣть на Короваева, который, мѣрно и широко шагая, удалялся все дальше и дальше отъ нея и наконецъ скрылся въ переулкѣ. Грустно сдѣлалось Пелагеѣ Прохоровнѣ, голова ея отяжелѣла, слезы душили ее.

— Кто тутъ стоитъ?—крикнула грозно хозяйка съ крыльца.

— Это я... — сказала, едва оправившись отъ испуга, Пелагея Прохоровна и заперла калитку.

— Чего ты тутъ торчишь?

— Товарища нашего проводила—Короваева.

— Какъ? Да онъ мнѣ деньги не заплатилъ!

— Онъ на столѣ оставилъ... Будить тебя не хотѣлъ.

— Что меня будить, когда я всегда въ это время встаю.

Хозяйка зажгла лучину и, удостовѣрившись, что на столѣ дѣйствительно лежатъ мѣдныя деньги, подобрала ихъ. Въ это время Горюновъ проснулся и черезъ минуту сѣлъ, спустивъ ноги съ печки.

— Ушелъ? — спросилъ онъ съ удивленіемъ и полуиспугомъ.

— Ушелъ совсѣмъ, — сказала Пелагея Прохоровна.

— И хорошо сдѣлалъ.

И Терентій Иванычъ слѣзъ съ печки.

Пелагея Прохоровна долго думала надъ словами дяди, но спросить его не рѣшалась; однако онъ самъ разрѣшилъ ихъ, сказавъ хозяйкѣ, что разошедшись, они не будутъ мѣшать другъ другу и сойдутся вмѣстѣ тамъ, гдѣ отыщутъ хорошее житье.

IV.

Съ разсвѣтомъ Горюновъ съ племянниками вышли изъ постоялаго дома. Горюновъ сказалъ имъ, что надо искать квартиру, потому что въ постояломъ домѣ жить невыгодно, и нужно присмотрѣться къ селу, котораго они еще не знаютъ. Пришли они на промысла; тамъ работы было только въ варницахъ, да и то половинѣ рабочихъ нечего было дѣлать, почему одни изъ рабочихъ отскабливали снѣгъ отъ дверей, другіе починивали сапоги. Отъ нихъ они узнали, что работа бываетъ временно, и тогда народу требуется много; а въ такое время, какъ теперь, работы едва хватаетъ и на сельскихъ жителей, потому что варницы не всѣ пускаютъ въ ходъ въ одно время.

— Вамъ лучше придѣлиться помѣсячно, потому тогда все же какая-нибудь работа будетъ. Только надо смотрителю взятку дать,—совѣтовали рабочіе Горюновымъ.

— А сколько онъ положитъ жалованья?

— Да глядя по человѣку, какъ понравится. Попытайтесь; можетъ, онъ и приметъ... На него полоса приходитъ: ино время приметъ, въ другое нѣтъ. Вонъ онъ у той варницы съ саженью ходитъ.

Горюновы выждали, когда смотритель смѣрялъ полѣнницу, отпустилъ возчиковъ и пошелъ къ насосу. Горюновы пошли къ нему.

— Почтенный!..—началъ Горюновъ.

Смотритель обернулся, оглядѣлъ Горюновыхъ.

— Мы слышали, у тебя работа есть.

— Ну?—промычалъ сурово смотритель.

— По чемъ ты платишь въ мѣсяцъ?

— Это зависитъ отъ того, кто что дѣлаетъ и какъ дѣлаетъ. Только теперь на моихъ варницахъ полный комплектъ. Хотите даромъ.

— Кто же даромъ работаетъ?!

— Ну, и убирайся...

И смотритель пошелъ.

Золъ сдѣлался Терентій Ивановичъ. Злило его то, что ему хвалили Моргуново, и вдругъ тамъ нельзя найти работы, а если и есть, то за нее нужно платить. Однако Горюновъ рѣшился сходить въ квартиру смотрителя.

Смотритель жилъ недалеко отъ варницъ и занималъ цѣлый домъ въ нѣсколько комнатъ. Горюновъ вошелъ въ прихожую, гдѣ мальчикъ годовъ двѣнадцати чистилъ сапоги. Ему пришлось простоять часа два, до тѣхъ поръ, пока смотритель не вышелъ въ прихожую за тѣмъ, чтобъ надѣть тулупъ и идти.

— Мнѣ бы по секрету надо поговорить съ твоей милостью...—сказалъ Горюновъ и сдѣлалъ гримасу, которая вызвала улыбку смотрителя.

— У насъ нѣтъ секретовъ.

— Видишь ли: я все могу дѣлать, могу и за рабочими смотрѣть.

— Э! какую ты несешь пѣсню. Да ты знаешь ли порядки-то наши?

— Долго ли узнать: я самъ заводскій человѣкъ, и учить меня нечего... Я и подарить въ состояніи вашу милость, если должность будетъ хороша.

— Однако ты мѣтишь-то ловко! Ну, да ладно, приходи послѣ завтра и приноси двадцать пять рублей. Если найдется мѣсто — назначу, нѣтъ, — подожди.

— А позволь спросить: сколько жалованья?

— Да жалованье казенное: есть и семьдесятъ два рубля въ годъ, и пятьдесятъ четыре рубля, меньше тридцати шести нѣтъ.

Смотритель вышелъ, за нимъ вышелъ и Горюновъ, думая, какъ это можно жить на такое жалованье. «Значитъ воровать нужно», думалъ Горюновъ. Но что воровать? въ чемъ состоитъ та должность, за которую нужно дать смотрителю деньги? Если эта должность приноситъ большой доходъ отъ разсчетовъ съ рабочими—Богъ съ ней... «Лучше я на золотые тогда пойду прямо».

Два дня потомъ Горюновы присматривались къ селу. Хлѣбъ, мясо и прочіе продукты были здѣсь дороже терентьевскаго; народъ отличался отъ терентьевскаго большею плутоватостью, и здѣсь

труднѣе было сбыть вещь въ родѣ желѣза и чугуна. Квартиры Горюновы не находили, потому что сторонніе дома были заняты семейными рабочими, а въ порядочныхъ домахъ, гдѣ жили небольшія семейства, просили дорого. Хозяйка же постоялаго двора стала притѣснять ихъ за то, что они не стали брать у нея кушанье, и запросила вдругъ за постой по пяти копѣекъ съ человѣка въ сутки безъ права пользованія полатями и печкою, да и у нея въ это время стояли возчики, которые впрочемъ только обогрѣвались и скоро уѣзжали. Эти возчики были жители сосѣднихъ селеній, и дальше своего мѣста они ничего не знали. Поэтому отъ нихъ Горюновъ ничего не могъ узнать для себя полезнаго.

Горюновъ явился къ смотрителю въ назначенный день.

— Ну, мѣсто я для тебя нашелъ, давай деньги.

— Назаръ Пантелеичъ, я человѣкъ пришлый, издержался дорогой.

— Запѣлъ! Эти пѣсни мы знаемъ. Ну, да впрочемъ мы послѣ сочтемся. Ты только дай мнѣ расписку и свой билетъ.

Горюновъ отдалъ свой билетъ смотрителю.

— Ты будешь наблюдать за выварокой соли и за тѣмъ, чтобы рабочіе не таскали соль съ варницы. Вотъ твоя варница: седьмой номеръ.

Смотритель ввелъ Горюнова въ варницу, сказавъ рабочимъ, что онъ отказалъ Яковлеву и что они должны теперь слушаться Горюнова.

— Каждый день ты мнѣ долженъ представлять отчетъ: сколько подъ варницу брошено дровъ, сколько въ ходу было лошадей, ребятишекъ, и чтобы соль была въ исправности.

Итакъ Горюновъ былъ принятъ въ варницу уставщикомъ съ платою въ годъ по усмотрѣнію смотрителя варницъ. Условія между Горюновымъ и смотрителемъ заключено не было.

Племянники и племянница пошли тоже въ варницы. Имъ полагалась плата поденно, какъ и прочимъ рабочимъ, которые получали за двѣнадцать часовъ двадцать копѣекъ. Но такъ какъ въ варницѣ былъ полный комплектъ рабочихъ, то рабочіе изъявили Горюнову свое неудовольствіе.

— Ну, братцы, какъ-нибудь... Покажемъ, что нужно было больше рабочихъ,—говорилъ Горюновъ.

— Нечего тутъ и показывать, когда Назарко и такъ обдѣливаетъ рабочихъ.

— Ну, у меня не обдѣлитъ. Много будете мной благодарны.

Рабочіе въ первый день много смѣялись надъ Горюновымъ, который въ соляномъ дѣлѣ рѣшительно ничего не смыслилъ. Такъ напр., онъ чуть не задохся отъ дыма, который шелъ изъ-подъ ямы, надъ которой сдѣлана четырехсаженная квадратная цирень или по-промысловому сковорода. Дымоотводныхъ трубъ отъ этой ямы сдѣлано не было, и поэтому дымъ разстилался облаками по всей варницѣ и потомъ уходилъ въ отверстія, сдѣланныя въ крышѣ варницы. И хорошо еще, что рабочіе были хорошіе, знали дѣло какъ слѣдуетъ, и Горюнову не нужно было понукать и указывать. По ихъ понятію, Горюновъ здѣсь былъ совсѣмъ ненужный человѣкъ, и если онъ терся около кого-нибудь, то ему совѣтовали идти спать, а не мѣшать. Племянникамъ его и Пелагеѣ Прохоровнѣ ничего не давали дѣлать, но такъ какъ они мѣшали имъ, то и заставляли ихъ кидать въ печь подъ цирень дрова, что имъ на первый разъ казалось очень тяжело, во-первыхъ потому, что имъ приводилось бросать полутораршинныя полѣнья, а во-вторыхъ,—у печи было слишкомъ жарко. Смотритель навѣстилъ по вечеру новаго уставщика и распекъ какъ его, такъ и рабочихъ, за то, что въ цирень было пущено очень много разсола.

— Што ты дѣлаешь, разбойникъ! Вы-то что, олухи эдакіе, дѣлаете? Ахъ, бѣда!—кричалъ и бѣгалъ смотритель около цирени, наполненной разсоломъ.

Горюновъ ничего не понималъ, но однако сказалъ:

— Ну, дакъ что-жъ такое?

— Ты что, спалить што ли хошь варницу? Ты знаешь ли, что какъ пустишь на приводъ, она вспыхнетъ? Понялъ ли ты это?

Горюновъ почесалъ затылокъ.

Ночью варницу пустили на приводъ, т. е. прекратили топку, заперли варницу и печь закрыли для того, чтобы соль изъ густого и горячаго разсола осадилась. Въ такомъ положеніи варницу оставляютъ на двѣнадцать и шестнадцать часовъ. Утромъ Горюновъ сталъ проситься въ село, такъ какъ у него не было хлѣба.

— Оставь у варницы двоихъ для караула, а самъ приходи часа черезъ три, потому надо будетъ разсолъ, который прокипитъ теперь, на полати скидывать.

Горюновы вышли изъ промысловъ. Они хотѣли идти на рынокъ за покупкою хлѣба на остальныя деньги, но съ ними встрѣтился тотъ самый полѣсовщикъ, съ которымъ они видѣлись недалеко отъ села. Онъ несъ на спинѣ три пары глухарей.

— А! знакомые! Что, ужъ робите?—спросилъ онъ.

— Меня въ уставщики взяли,—сказалъ Горюновъ.

— Сколько взялъ?

— Проситъ двадцать пять, да я еще не далъ ничего.

— Смотри, братъ, не плошай! Онъ уставщиками, какъ лошадьми мѣняетъ. Гдѣ вы живете?

Горюновъ сказалъ, что еще не нашелъ квартиры.

— Э! Ты бы меня спросилъ, когда мы встрѣтились на большой дорогѣ. Хошь у меня жить? Я къ своей избенкѣ пристройку сдѣлалъ для сына, онъ померъ, дай ему Богъ царство небесное!

Полѣсовщикъ началъ разсказывать про умершаго сына, который былъ и силенъ, и уменъ, и красавецъ. Противъ его сына не было во всемъ селѣ такого зубоскала и насмѣшника. И къ работѣ онъ былъ прилеженъ, и случалось, что прокариливалъ все семейство, когда отецъ и мать хворали. И совсѣмъ было парень чуть не женился на первой заводской красавицѣ, да, Богъ его знаетъ отчего, съ

нимъ такая притча случилась: осенью онъ плылъ на лодкѣ, въ которой было два мѣшка съ солью. Плылъ, какъ и всегда, какъ ни въ чемъ не бывало, ночью—и вдругъ наплылъ на колъ. Засѣла лодка на колу—ни впередъ, ни назадъ, вертится во всѣ стороны, хоть ты что хошь дѣлай! Всталъ Никитка, лодка и перевернись. Очутился Никитка въ водѣ, думалъ стать, да ногами дна не могъ ощупать. А лодка перевернулась, набои зацѣпляются за колъ, мѣсто быстрое, вода бурлитъ, дуетъ рѣзкій вѣтеръ, льдинки маленькія такъ и стучатъ объ лодку... Кое-какъ справился, сѣлъ въ лодку и поплылъ мѣшки разыскивать. Про соль-то ужъ онъ и не думалъ, мѣшковъ жалко было. Плавалъ долго: ему кажется, будто мѣшокъ плыветъ, а то—льдинка. Все-таки одинъ мѣшокъ отыскалъ. Ну, и захворалъ, и дня черезъ три померъ...

— Ну, да чему быть, того не миновать! Всѣ подъ Богомъ ходимъ,—заключилъ полѣсовщикъ, утеревъ правый глазъ кулакомъ.

— А вотъ дома-то я ужъ полторы недѣли не бывалъ. Мясо вовсе не ѣдалъ, и глухари были, да жалко. Сожрать не долго, а пользы никакой не будетъ. Моя старуха привозила простокваши да хлѣба,—питался славно... А тутъ и перестала. Ну, голодъ-то не тетка, плюнулъ на все и пошелъ.

Полѣсовщикъ повелъ Горюновыхъ на рынокъ и проходилъ тамъ около часу, потому что за глухарей не давали того, что онъ просилъ. Кое-какъ онъ продалъ ихъ за тридцать копѣекъ.

На рынкѣ встрѣтились съ нимъ его пріятели. Пріятели эти были такого рода: они рубили воровски лѣсъ на дрова въ сосѣдней дѣлянкѣ и провозили дрова мимо полѣсовщика, которому и давали кое-когда что-нибудь. Пріятели позвали его въ харчевню напиться чаю, потому что они хорошо продали дрова. Полѣсовщикъ сталъ звать и Горюновыхъ, тѣ отговаривались тѣмъ, что имъ некогда.

— Толкуйте! Это смотритель для того велѣлъ приходить такъ рано, чтобы дать вамъ за ту же все цѣну другую работу.

И пріятели полѣсовщика тоже стали приглашать Горюновыхъ для компаніи. Они пошли. Въ харчевнѣ никого не было кромѣ хозяйки, молодой женщины, которая, какъ пришли посѣтители, спала, сидя на лавкѣ и положивши голову на руки, которыя лежали на столѣ. При входѣ посѣтителей она проснулась.

— Вотъ она лѣнь—продать ее на ремень!—проговорилъ одинъ изъ пріятелей полѣсовщика.

— Никого нѣту,—скука, я и заснула,—проговорила хозяйка, широко зѣвая.

— Али мужа-то нѣту?

— А чтобъ ему поколѣть! Вчера утромъ пріѣхалъ изъ Демьянова пьяный-препьяный и давай драться... Кое-какъ скрутила его, привязала за голову да за ноги къ кровати,—уснулъ. Пробудился,—я ему косушку поставила... Ну, думаю, поправился человѣкъ, пошла на рынокъ. Прихожу, а онъ,—чтобъ ему чирей въ горло!—сидитъ пьяный у стола, а на полу, передъ нимъ, разбитая бутыль валяется...

— А какой славный былъ мужикъ!..—дивились пріятели полѣсовщика.

— Ну ужъ... Никакого удовольствія не можетъ доставить! Что это за мужъ!

Пріятели угостили полѣсовщика водкой и сами выпили. Горюновы не принимали никакого участія ни въ разговорахъ, ни въ угощеніи. Мужчины закурили трубки; хозяйка подозвала Пелагею Прохоровну, разспросила все и стала ей изливать свое горе. Горе, по ея разсказамъ, заключалось въ томъ, что харчевню она открыла на свои деньги, а такъ какъ ей одной трудно управиться совсѣмъ безъ мужчины, какъ напр. купить водки, а братьевъ или свободныхъ родныхъ у нея нѣтъ, то она и согласилась выйти замужъ за товарища дѣтства. Но онъ ее обманулъ, потому что и не любитъ ее, и лѣнивъ, и пьяница.

— Думаю, думаю, мать моя, какъ бы мнѣ лучше сдѣлать,—ничего не выходитъ! А если эдакъ все будетъ, пожалуй въ долги войдемъ. А у насъ, я тѣ скажу, стоитъ только разъ попасть въ долги, такъ запутаешься, что не приведи Богъ. Наше дѣло такое, что займовать приходится не копѣйками, а рублями... А если взялъ рубли, такъ говорятъ—отдай въ срокъ да всѣ сполна, а не то и опечатаютъ, а потомъ и потянутъ къ посреднику на расправу: тотъ и приговоритъ работать на того, кто деньги далъ... Такъ заведеніе и перейдетъ въ чужія руки. А будь-ко бы помощникъ хорошій мужчина,—не то бы было.

— Ты бы наняла.

— Наняла?—хозяйка покачала головой и прибавила:—вотъ и видно, что ты еще мало мытарствъ прошла. Вонъ мужики знаютъ меня.

— Какъ не знать, Степанида Игнатьевна! Давно знаемъ и дивимся твоему уму-разуму. А дай-ко намъ еще по стаканчику.

Выпили еще по стаканчику.

— Ахъ, кабы да воля была! Срубилъ бы я дерево!—сказалъ полѣсовщикъ, отчаянно ударивъ кулакомъ о столъ.

— А ты сруби—кто тебѣ не велитъ.

— Нельзя,—дерево примѣтное.

— А ты сруби, да и скажи: вѣтромъ, молъ, сломало.

— Не то вы толкуете... А это дерево у меня, какъ бѣльмо на глазу. Много оно мнѣ причинило горя. Вотъ хоть бы, къ примѣру, сыну помереть, такъ што бы вы думали? Какъ ночь—оно и выть. Ей-Богу!

— Можетъ, тамъ кладъ какой есть

— Копалъ,—хоть бы камень.

Начался разговоръ о кладахъ. Разсказывали, какъ одинъ мастеровой, копая яму для погребушки, вырылъ чугунъ старинной формы съ старою золотою монетою. Взялъ да и объявилъ начальству, потому что былъ дуракъ; начальство куда-то представило монеты. Такъ ничего и не получилъ мастеровой, а только послѣ этого помѣшался—весь огородъ изрылъ, такъ что огородъ ни на что не сталъ годенъ.

— А вотъ такъ на золотыхъ рабочіе лучше поступаютъ.

— Какъ?

— Промоетъ золото золотниковъ десять и завяжетъ въ тряпку, а какъ идти съ пріисковъ, и заткнетъ его... Да! Такіе, братецъ ты мой, есть богатеи,—что! Дома какіе настроили.

— Это гдѣ же?—спросилъ Терентій Иванычъ.

— Въ нашихъ мѣстахъ. Подъ одного мужика начальство долго подкапывалось, ничего не могло сдѣлать; и угрозы не подѣйствовали. Вишь ли! Онъ домъ большой въ селѣ имѣлъ; внизу самъ жилъ, ну, и постоялый дворъ держалъ. А сперва куда какъ бѣденъ былъ. Ну, начальство думаетъ, на какіе капиталы нашъ мужикъ разжился? Сосѣди тоже удивляются и завидуютъ. Земли много пріобрѣлъ и деньги вноситъ безъ принужденія. Только въ городъ ѣздитъ и тамъ подолгу живетъ. Разъ даже становой обыскать его велѣлъ среди дороги. Такъ, братецъ ты мой, онъ губернатору жаловаться сталъ, станового и смѣнили. А тутъ, слушаемъ, вдругъ говорятъ: онъ фальшивыя деньги дѣлаетъ, потому что у него нашли фальшивый золотой въ пять рублей. Ну, и посадили въ острогъ, а потомъ въ городѣ плетьми драли... И человѣкъ ни за что погибъ! А погибъ онъ потому, что какой-то раскольникъ далъ вмѣстѣ съ золотомъ и монету. Хотя онъ и говорилъ, что нашелъ монету, однако его и драли, и били, и ѣсть не давали, чтобы онъ сознался, что самъ дѣлалъ деньги... Однако говорили, что онъ убѣжалъ еще до каторги, и гдѣ теперь—не извѣстно.

— А надо бы попытаться на пріискахъ.

— Я бы непремѣнно пошелъ, кабы не ребятишки.

— И съ ними можно.

— Ну, нѣтъ. Надо сперва самому попробовать: если хорошо— и семейство взять, а худо—наплевать.

Посѣтители вышли изъ харчевни, и пріятели разстались съ полѣсовщикомъ и Горюновыми. Полѣсовщикъ пошелъ рядомъ съ Терентіемъ Ивановичемъ. Оба шли сперва молча; полѣсовщикъ первый проговорилъ:

— Охо-хо! Жизнь она—жизнь!

— Что и говорить.

— Вѣрно нашему брату, мужику, нигдѣ нѣтъ счастья.

— Ну, это еще надо извѣдать.

— Извѣдать! Хорошо тебѣ говорить, коли у тебя нѣту жены и ребятъ... Ты всталъ, да и пошелъ!.. А я на твоемъ мѣстѣ, ей-Богу бы, на золотые пошелъ.

— Да я и думаю.

— Ахъ, кабы я одинъ былъ! Ужъ давно я объ этомъ предметѣ думаю! Эхъ, горе, горе! Вотъ теперь только и есть капиталу, что тридцать копѣекъ... А срублю же я это дерево, будь оно проклято!—заключилъ съ отчаяніемъ полѣсовщикъ.

V.

Домъ полѣсовщика, Елизара Матвѣевича Ульянова, ничѣмъ не отличался отъ прочихъ домовъ своею наружностью: такой же высокій фундаментъ съ высокими завалинами на случай потопа, т. е. разлитія рѣкъ Дуги и Ульи, идущей мимо дома Ульянова и впадающей въ Дугу верстахъ въ двухъ отъ его дома; такъ же высоко отъ завалинъ сдѣланы въ домѣ два окна, находящіяся другъ отъ друга на разстояніи одной сажени, изъ которыхъ одно выше другого цѣлымъ поларшиномъ. Однимъ словомъ, наружный видъ дома свидѣтельствовалъ, что хозяинъ его былъ человѣкъ практическій, и если самъ не испыталъ непріятности, причиняемой разливомъ рѣкъ, то видалъ по крайней мѣрѣ это. Внутри домъ имѣлъ избу съ печкой и полатями и горницу съ однимъ окномъ, выходящимъ на рѣку, съ лежанкою безъ тепла, устроенною потому, что промысловые такъ устраиваютъ, и потому еще, что кирпичъ некуда было дѣвать. Двѣ стѣны въ этой горницѣ оклеены бумагой, третью еще только начали оклеивать, да бумаги не хватило. Въ горницѣ стоитъ крашеный столъ, два стула простой работы, тоже окрашенные; на окнѣ стоятъ два горшка, изъ коихъ въ одномъ растетъ лукъ, а въ другомъ красный перецъ, а на шкафчикѣ, стоящемъ въ углу, противъ лежанки, стоитъ самоваръ, покрытый большой тряпицей.

У Елизара Матвѣича было кромѣ жены, Степаниды Власовны, четверо дѣтей, изъ коихъ дочери Елизаветѣ теперь шелъ восемнадцатый, а самой меньшой дочери Марьѣ—четыре года.

Принадлежа помѣщику, Елизаръ Матвѣичъ рано былъ взятъ на работы. Управляющій имѣніемъ и людьми, думая угодить помѣщику и стараясь самъ со временемъ сдѣлаться солепромышленникомъ, такъ сказать, выжималъ весь сокъ изъ крѣпостного человѣка: мало того, что заставлялъ мужчинъ работать безъ отдыха, онъ требовалъ, чтобы и бабы, дѣвки и ребята не шалберничали дома, а были на промыслахъ, и если на промыслахъ его хозяина не было работы для всѣхъ, то работали бы по найму для другихъ управляющихъ, преимущественно его тестя. Работая на варницахъ, Ульяновъ ничего не нажилъ. Правда, жена принесла ему въ приданое самоваръ, но чай онъ пилъ только въ самые большіе праздники, и то для того, чтобы не отстать отъ товарищей, которые все-таки считали себя почему-то выше горнозаводскихъ людей, хотя и разнились отъ нихъ только родомъ занятій, да свободнымъ обращеніемъ съ мелкимъ начальствомъ, которое сильно трусило рабочихъ, потому что бывали примѣры такого рода, что одного смотрителя столкнули въ амбаръ, гдѣ онъ задохнулся въ соли; другого начали качать для того, чтобы бросить въ адъ—или печь подъ циренью; третьяго хотѣли сварить съ разсоломъ. Ульяновъ, какъ и прочіе, жилъ день за днемъ, не сыто и не голодно, и поэтому у него даже праздниковъ не бывало, т. е. праздники или свободные дни хотя и были, но ему не было весело, и если онъ пилъ водку, пѣлъ пѣсни, такъ потому, чтобы не отстать отъ товарищей и показать, что и онъ промысловый рабочій... А тутъ пошли дѣти, съ дѣтьми увеличились еще болѣе прежняго нужды. Но все-таки хозяйка его умѣла управляться такъ, что дѣти не умирали съ голоду. Провіантъ, т. е. мука, получаемая за работу мужа и ея, шла для ѣды, а то, что давала корова, шло въ продажу; и хотя Елизаръ Матвѣичъ и дѣлалъ

берестяные бураки, лубочныя наберухи, лукошки, но за нихъ давали очень мало, потому что мастеровъ этого рода было въ селѣ много. Пашенъ промысловымъ рабочимъ не давали, покосы были небольшіе, и сѣна съ нихъ едва-едва хватало для коровы.

Когда же Елизаръ Матвѣичъ поступилъ въ полѣсовщики—по протекціи его жены, которая носила лѣсничему молоко и, какъ толковали злыя бабенки, имѣла съ нимъ любовную связь,—тогда для Елизара Матвѣича настала другая жизнь. Дѣло въ томъ, что назадъ тому десять лѣтъ лѣсу было такъ много въ дистанціи Елизара Матвѣича, что онъ называлъ его непроходимымъ; на этотъ лѣсъ всѣ, начиная отъ лѣсничаго и кончая сторожемъ, смотрѣли какъ на доходную статью, потому что никому и въ голову не приходило, что отъ порубокъ лѣсъ будетъ сперва рѣдѣть, а потомъ и совсѣмъ исчезнетъ. Лѣсничій заставлялъ лѣсныхъ сторожей рубить для него лѣсъ на дрова и бревна, заставлялъ строить ему домъ, помощникъ его тоже, и т. д.; сторожа знали, что начальство не стѣсняясь продаетъ лѣсъ, а потому и сами распоряжались деревьями по своему усмотрѣнію. Годовъ шесть Елизаръ Матвѣичъ блаженствовалъ: въ будни носилъ ситцевыя рубахи, къ каждому воскресенью дома варилось пиво, но Елизаръ не хотѣлъ пить пиво: ему нравилось сидѣть въ харчевнѣ или въ кабакѣ за косушкой сивухи съ веселой компаніей, отъ которой онъ узнавалъ новости и происшествія, случившіяся въ его отсутствіе; у жены его были двѣ коровы, много гусей, утокъ и курицъ; въ большіе праздники супруги не садились за столъ безъ пирога съ просоленымъ сигомъ и безъ жаренаго поросенка; дѣти ходили не оборванныя. И деньги водились какъ у мужа, такъ и у жены, которая хорошо работала на промыслахъ или, вѣрнѣе сказать, отъ скуки и отъ нечего дѣлать проводила тамъ цѣлые дни. Одно только не нравилось тогда Елизару Матвѣичу, что въ кордонѣ находилось двое полѣсовщиковъ, которые чередовались понедѣльно, отчего Елизаръ Матвѣичъ говорилъ, что его товарищъ собираетъ его доходы въ свою пользу. Но и тутъ по просьбѣ его жены прогнали другого полѣсовщика—и онъ остался одинъ. Но въ это время лѣсу уже стало меньше; начальство стало строже, чаще и чаще оно стало придираться, а разъ даже лѣсничій приказалъ дать ему двадцать пять розогъ за то, что онъ не досмотрѣлъ, кто стравилъ въ просѣкѣ межевой знакъ со столба, хотя Ульяновъ и зналъ, что знакъ стравленъ, по приказанію того же лѣсничаго. Доходишки все-таки были, потому что чѣмъ строже лѣсные сторожа, тѣмъ лѣсоистребленіе и кража идутъ успѣшнѣе и ловчѣе, а стало быть и плата за пропускъ мимо кордона дровъ и бревенъ увеличивается. Напослѣдокъ однако же доходы стали уменьшаться, и хотя онъ былъ и одинъ на кордонѣ, но ловить было некого, такъ какъ крестьяне и мастеровые предпочитали удобнѣе и выгоднѣе производить порубки въ другихъ мѣстахъ. Съ пріѣздомъ новаго лѣсничаго, изъ молодыхъ и ученыхъ, трудно было поживиться чѣмъ-нибудь. Дистанція была размѣрена на площади, въ каждой площади деревья сосчитаны, выправлены столбы. Теперь и для себя было опасно рубить лѣсъ, и если Ульяновъ крѣпко нуждался въ деньгахъ, то со страхомъ и трепетомъ принимался за рубку — часто останавливаясь и прислушиваясь то къ эху, то къ шелесту листьевъ. Къ счастью его новый лѣсничій не заглядывалъ уже больше въ лѣсъ. Только разъ перепугался Ульяновъ: наѣхали землемѣры, натянули цѣпи, наставили треножекъ, но и отъ нихъ онъ отдѣлался, угостивъ ихъ солянкой изъ яицъ и полштофомъ водки.

Трудно было отставать Ульяновымъ отъ хорошей жизни. Приходилось сперва закалывать утокъ и нести ихъ на продажу, потомъ пришлось продать не только гусей, но и одну корову. Надѣялся Ульяновъ на то, что его переведутъ въ хорошее мѣсто за его честную службу, но не переводили. Износились ситцевыя рубахи, пришлось покупать ленъ, чесать, прясть, бѣлить нитки и ткать; дѣти выростали, въ селѣ все подоражало, за трудъ дѣтямъ давали мало, пришлось и лошадь продать, изъ боязни, чтобы ее не замучили въ варницахъ, куда ее часто брали по требованію.

Но вотъ вышла воля. Объявили и Ульянову, что онъ теперь временно-обязанный, и если хочетъ, то пусть остается полѣсовщикомъ за десять руб. въ годъ. Подумалъ Ульяновъ съ недѣлю, потолковалъ съ пріятелями и остался, потому что ему нравилась уединенная жизнь, и онъ выдумалъ огаливать толстыя деревья, растущія внутри дистанціи, т. е. обрубать толстые отростки на дрова и рубить тонкія дерева и кустарники. Времени у него было много свободнаго, и онъ эти отростки и кустарники рубилъ на дрова, которыя и продавалъ. Кромѣ этого онъ могъ стрѣлять птицу, забираясь въ чужія дистанціи, доставать бересту, лыко, лубки на разныя подѣлки. Но и это въ послѣднее время до того оскудѣло, что онъ подумывалъ заняться какимъ-нибудь другимъ дѣломъ; однако выгоднаго и сподручнаго пока не находилось. Прежде на дѣтей давали муку, и Елизаръ Матвѣичъ радовался появленію на свѣтъ новаго *бахаря*, и горевалъ, когда этотъ бахарь проживалъ полгода или еще менѣе; но теперь онъ и четверымъ дѣтямъ не радъ, а что было бы, если бы у него всѣ одиннадцать дѣтей были живы! Хорошо еще, что Лизавета носитъ на промыслахъ соль и получаетъ поденщину отъ пятнадцати до двадцати коп., но велики ли эти деньги, если работы на промыслахъ для бабъ и дѣвокъ бываютъ раза четыре въ мѣсяцъ. А развѣ она на восемь гривенъ съѣстъ? Ей надо и одѣться, и башмаки нужны, потому что она дѣвушка невѣста, промысловая красавица, которой стыдно въ люди показаться босою съ грязными лапищами. Хорошо еще, что Степанъ работаетъ на промыслахъ, и получаетъ отъ пяти до десяти коп. въ день—все же хоть самъ себя кормитъ и таскаетъ матери кое-когда сальные огарки и мать его имѣетъ отъ нихъ кое-какую выгоду. Но еще двое дѣтей у Ульянова. Никиту отецъ давно бы пристроилъ куда-нибудь, да онъ какой-то хилый, точь-въ-точь какъ чахоточный лѣсничій, а Машка еще недавно только бѣгать начала.

Когда Ульяновъ вошелъ въ избу съ Горюновыми, жена его, худощавая женщина съ изнуреннымъ лицомъ, но еще не совсѣмъ утратившимъ прежнюю красоту, сидя на печкѣ, пряла шерсть; Никита и Марья, сидя на полу передъ матерью, чесали куделю, отчего въ избѣ было очень пыльно, а на полу по всей избѣ много сору. Лизавета Елизаровна ткала въ комнатѣ половикъ. Она была высокая, здоровая дѣвушка, такъ что по загорѣлому или красному отъ вѣтра и отъ огня лицу ея ей можно было дать года двадцать два. Руки ея были довольно развиты, крѣпки и жестки, что̀ доказывало, что она уже давно знакома съ тяжелой работой, а прямой надменный взглядъ ея карихъ глазъ какъ будто говорилъ, что она не боится никого.

— Здорово, старуха!... Ахъ, вы проклятые! Развѣ нѣту вамъ бани?.. Нашли, гдѣ куделю чесать,—проговорилъ хозяинъ, обращаясь сперва къ женѣ, потомъ къ дѣтямъ.

— Ну, гости дорогіе, садитесь. Вотъ она, моя-то хата! Тѣсновата, да зато тепло какъ въ раю.

— Ужъ не говорилъ бы! Не то время...—проговорила хозяйка, слѣзая съ печки.

Она оглядѣла вошедшихъ подозрительно, слегка поклонившись имъ.

— Прежде жарили, знаешь какъ, печь-ту, потому учету не было, а теперь берешь полѣно-то, да и ожигаешься.

— А ты бы взяла да и расколола его на-пятеро,— сказалъ Терентій Иванычъ.

Хозяйка посмотрѣла на него съ презрѣніемъ, сложила руки на груди и сказала дочери:

— Лизавета, накорми отца-то.

Лизавета сидѣла у окна противъ двери въ избу и смотрѣла на вошедшихъ гостей, особенно на Пелагею Прохоровну и Григорія Прохоровича, которые смотрѣли то на нее, то на прясло.

— Сама корми,—некогда... Еще бы онъ привелъ чуть не полную избу,—проговорила недовольно дочь.

Хозяйка ушла въ сѣни, а Пелагея Прохоровна не утерпѣла и вошла въ комнату, гдѣ между нею и хозяйской дочерью скоро завязалось знакомство. Немного погодя, хозяйка приготовила кушанье для мужа: натерла рѣдьки въ большую деревянную чашку, налила въ чашку квасу и ложку коноплянаго масла. Хозяинъ сталъ приглашать ѣсть и гостей, но они отказались, говоря, что еще съ осени закормлены.

— Какъ ты думаешь, Власовна,—началъ нерѣшительно мужъ послѣ того, какъ жена узнала, кто такіе гости:—я хочу ихъ пустить въ ту половину.

— Ужъ ты вѣчно такъ. Ужъ если ты думаешь, такъ ужъ чево и говорить.

— А ты какъ думаешь?

— Чево мнѣ думать!? Ты всегда хорошо дѣлалъ: по твоей лѣни да пьянству вотъ мы до чего дошли! Мнѣ что! Хочешь, чтобы сгноили—пускай.

— Слышалъ, дядя Терентій, какова у меня баба-то? Если я что захочу, не нравится, и носъ кверху вздернетъ, а если она что захочетъ, такъ такъ тому и быть слѣдуетъ.

— Дуракъ...

— Съѣлъ меду буракъ.

— По чьей милости ты въ полѣсовщики-то попалъ?—сказала жена обидчиво.

— О! Всѣ знаютъ... Сказать ли?

— Уйди, безсовѣстный!..—И жена ушла въ комнату, гдѣ Пелагея Прохоровна уже свободно разговаривала съ хозяйской дочерью.

Горюновы поселились въ другой половинѣ дома Ульяновыхъ, но первую ночь ночевали на промыслахъ, потому что квартиру нужно было протопить, а дровъ Степанида Власовна не давала, говоря, что ихъ очень мало для себя. Въ квартиру они вернулись на другой день вечеромъ, и каждый изъ нихъ несъ или по два длинныхъ толстыхъ полѣна, или по одному, смотря по силамъ каждаго. Но только-что они вошли во дворъ, какъ услыхали крикъ въ хозяйской половинѣ, а Лизавета Елизаровна, стоя у рукомойки, плакала.

— О чемъ, дѣвка, плачешь? О чемъ слезы льешь? —сказалъ шутя Терентій Иванычъ.

— Охъ! тятенька пьяный пришелъ! Уймите вы его, онъ убьетъ мамоньку.

— Проводи-ко ты, голубушка, на квартиру-то, а я ужо пойду погляжу, что̀ хозяинъ творитъ.

Лизавета Елизаровна повела жильцовъ въ новую половину, а Терентій Иванычъ пошелъ къ хозяину.

Елизаръ Матвѣичъ, сидя у стола и держа въ одной рукѣ маленькій пузырекъ, ругался. Онъ былъ пьянъ.

— Э! сосѣдъ!! Посмотри-ко, что моя-то благовѣрная творитъ!.. Отравить хочетъ!—кричалъ Ульяновъ.

— Полно-ко, Матвѣичъ, дурить-то?

— Не вѣришь? Ты мнѣ не вѣришь, что она съ лѣсничимъ жила?..

— Мнѣ какое дѣло!

— Тебѣ нѣтъ дѣла, а мнѣ есть... Теперича ты не вѣришь, что она меня хочетъ отравить; а ты еще вѣрно забылъ, что я твой хозяинъ и могу теперича тебя въ зашей!

— Да съ чево ей отравлять-то тебя?

— Нѣтъ, ты послушай...

Въ избу вошла Степанида Власовна съ избитыми щеками, изъ носа ея сочилась кровь.

— Варваръ ты! Разбойникъ...—кричала Степанида Власовна.

Мужъ поднялся съ лавки, но Горюновъ усадилъ его.

— Постой! ты знай, что я въ рудникахъ робилъ и не эдакихъ еще скручивалъ... Ты поглядѣлъ бы на себя-то, на кого ты похожъ?..

— Я? ты думаешь: кто я? Я—лѣсной князь, потому я надъ лѣсомъ командую.

Ульяновъ вошелъ въ свою сферу и сталъ говорить о своей лѣсной службѣ, и наконецъ вошелъ въ такой пафосъ, что, размахивая руками, бросилъ стклянку, не замѣтивъ того самъ, а Горюновъ подобралъ и положилъ въ карманъ своего тулупа.

Между тѣмъ Степанида Власовна вышла на дворъ. Тамъ Григорій Прохорычъ возился съ толстымъ сучковатымъ полѣномъ. Какъ онъ ни ухитрялся расколоть его, оно не раскалывалось, а только

топоръ крѣпче прежняго засѣдалъ въ немъ. Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна стояли недалеко отъ него и хохотали.

— Да скоро ли, Гришка? Заморозить, что ли, насъ хочешь?!—говорила сестра.

— Гдѣ ему, вахлаку, расколоть!—говорила, смѣясь, Лизавета Елизаровна.

— А вотъ расколю! Уйдете ли вы?!—горячился Григорій Прохорычъ.

— Охъ ты, заводская лопата! И полѣно-то расколоть не умѣешь...

— Ты бойка! Ну, расколи! Расколи?!

— Затопили печь-ту? — спросила Степанида Власовна.

— Да вотъ дожидаемся, когда этотъ вахлакъ расколетъ,—сказала Пелагея Прохоровна.

Хозяйка пошла въ квартиру Горюновыхъ, за нею и Лизавета Елизаровна съ Пелагеей Прохоровной,

Григорья Прохорыча потъ пробиралъ крѣпко, и ему очень было стыдно, что его осрамила хозяйская дочь, красивая дѣвка, которую такъ и хотѣлось ему по заводскому обыкновенію ущипнуть. И выбралъ же онъ такое полѣно проклятое... нужно же было ей войти во дворъ съ сестрой; но не будь ея, онъ скорѣе бы раскололъ полѣно, а то никакъ онъ не можетъ попасть, куда слѣдуетъ. Однако все-таки онъ раскололъ полѣно, и когда пошелъ въ квартиру, хозяйка уже выходила изъ нея.

— Гляди, дѣвка, наше полѣно взялъ, ей Богу!— сказала Лизавета Елизаровна.

— Есть что брать! Погляди на щепки сперва, потомъ говори.

— Будь ты проклятая, хвастушка!

Дѣвицы занялись разговорами, но не долго: кто-то застучалъ въ стѣну, и Лизавета Елизаровна убѣжала, оставивъ своихъ сестру и брата у Горюновыхъ.

Елизаръ Матвѣичъ, объявивъ своей супругѣ, что завтра чѣмъ свѣтъ онъ отправляется въ лѣсъ, и поэтому ему нужно напечь хлѣба, отправился съ Горюновымъ въ варницы. Это путешествіе въ варницы супруга объяснила тѣмъ, что онъ нашелъ по себѣ пріятеля пьяницу, а такъ какъ у новаго пріятеля нѣтъ денегъ, то онъ повелъ его разыскивать другихъ пріятелей, чтобы напиться пьяному.

— И откуда это онъ все такихъ пріятелей пріобрѣтаетъ?—спросила дочь.

— Небось ты рада!

— Есть чему мнѣ радоваться.

— То-то будешь опять строить лясы-балясы...

— Мамонька...

— Думаешь, не знаю, какъ ты съ Ванькой Зубаревымъ... Смотри-ко-сь, брюхо-то вздуло... Варначка! *).

Лизавета Елизаровна надула губы, сѣла къ окну, задумалась, утерла появившіяся на глазахъ слезы.

— Чево тамъ прихилилась (притаилась)... Я думаю, надо квашню заводить,—крикнула мать.

На другой день утромъ Ульяновъ отправился въ лѣсъ, взявъ съ собой три ковриги хлѣба и буракъ съ простоквашей. Онъ было началъ придираться къ дочери насчетъ стклянки, но дочь успокоила, его, что стклянку ея матери приносилъ фельдшеръ и въ этой банкѣ былъ спиртъ, которымъ мать терла себѣ лѣвую руку.

— То-то смотрите вы... Доведете вы меня до того, что я брошу васъ,—сказалъ Елизаръ Матвѣичъ.

Но такъ какъ эти слова доводилось и женѣ, и дочери слушать не въ первый разъ, то и теперь имъ въ семействѣ Ульянова не придали никакого значенія.

VI.

Черезъ недѣлю послѣ того, какъ Горюновы водворились въ домѣ Ульяновыхъ и послѣ ухода на кордонъ Ульянова, Терентій Иванычъ сказалъ, что завтра будутъ носить изъ прокопьевскихъ и алтуховскихъ варницъ въ амбары соль. А такъ какъ эта вѣсть распространилась по всему прибрежью отъ другихъ рабочихъ, то все населеніе прибрежья и другихъ улицъ, въ домахъ которыхъ живутъ преимущественно бѣдныя семейства, еще съ вечера стало готовиться на работу на завтрашній день. Еще съ вечера въ домахъ происходили ссоры братьевъ съ сестрами изъ-за того, что братья хотѣли оставить работы въ варницахъ и другихъ мѣстахъ и заняться соленошеніемъ. Сестры говорили, что это занятіе бабье, а не мужское, потому что бабамъ нѣту такого положенія, чтобы работать въ варницахъ. Отцы и матери старались прекратить эти ссоры тѣмъ заключеніемъ, что на промыслахъ съ самаго основанія ихъ соль носили бабы, что это дѣло бабье, и только въ случаѣ недостачи бабъ прихватываются мужчины. Но самая вражда женщинъ къ мужчинамъ еще больше выразилась утромъ на промыслахъ.

Утромъ въ шестомъ часу, передъ домомъ смотрителя, на площадкѣ, стояло сотни двѣ женщинъ и съ полсотни мужчинъ. Было темно, шелъ снѣгъ, и по тѣснотѣ происходила толкотня, тычки, щипки, взвизгиванья, руганье и хохотъ. Здѣсь ничего нельзя было разобрать: голосили женщины на разные лады, кричали и свистали мужчины, пищали ребятишки.

— Бабы! Гоните прочь мужиковъ! — кричитъ женщина.

— Отгоняйте ихъ къ полѣнницѣ! — кричитъ другая.

— Попробуй, коли бойка...

— И какъ это не стыдно! чѣмъ баловать, шли бы въ другое мѣсто.

— Безъ бабъ и робить скучно,—крикнулъ молодой парень.

— Только никакъ не съ тобой, косорылымъ... Отчего вы на варницы бабъ не пущаете?

— Что легче, зато и берутся!—кричали бабы.

— До обѣда проносятъ, а потомъ и ноги протянутъ,—сострилъ мужчина.

Всѣ захохотали. Началась свалка: женщины стали толкать мужчинъ; мужчины начали сердиться не на шутку и стали употреблять въ дѣло кулаки; женщины схватили кто полѣно, кто подпорку отъ полѣн-

*) Каторжная.

ницы,—отчего нѣкоторыя полѣнницы разсыпались. Послышались взвизгиванья, стоны, оханья, ругательства; одного мальчугана придавило полѣнницей, трехъ женщинъ изувѣчило, одному мужчинѣ переломило ногу.

— Варвары! Што вы надѣлали? Въ острогъ васъ мало посадить! — кричали со всѣхъ сторонъ женщины.

— Кто полѣнья-то взялъ?—кричали мужчины.

У женщинъ уже теперь не было полѣньевъ.

— Бабы! Кто изъ васъ бойчѣе? идите къ смотрителю.

Нѣсколько женщинъ отдѣлилось, составили кучу и стали держать совѣтъ.

— Олена, ты бойчѣе, ты первая говори.

— Нѣтъ, онъ меня терпѣть не можетъ. Лизку надо заставить.

— Пожалуй, я пойду,—сказала Лизавета Елизаровна.

— Сказать ему, мужчинъ намъ не надо; пусть въ алтуховскіе идутъ.

— Чего и говорить: первая со своимъ женишкомъ кривобокимъ пойдетъ...

Начались попреки, и дѣло опять дошло чуть не до драки, но вышелъ смотритель. Въ это время уже свѣтало.

Пять молодыхъ женщинъ, и въ томъ числѣ Лизавета Елизаровна, подошли къ нему.

— Назаръ Пантелеичъ, что это за порядки: мужчины за бабами хвостомъ бѣгаютъ.

Смотрителя окружили всѣ, и мужчины, и женщины.

— Мужчинъ намъ не надо.

— Заставь ихъ полѣнницы складывать: они полѣнницы уронили, народу сколько изувѣчено.

— Ну-ну... пошли!

— Да ты послушай!

— По гривнѣ съ бабы! — сказалъ смотритель и пошелъ.

Народъ повалилъ за нимъ: мужчины хохотали, женщины злились.

— Ну, гдѣ это справедливость?

— Тащите его къ дровамъ. Пусть онъ посмотритъ, что мужчины дѣлаютъ!

Женщины стали напирать смотрителя къ дровамъ, мужчины отталкивать.

— Стой! Что это такое? Али я не начальство?— кричалъ въ бѣшенствѣ смотритель, размахивая кулаками, но женщины скрутили ему руки.

— Кто меня смѣетъ трогать!—кричалъ смотритель.

— Бабы, до коихъ ты больно лакомъ! Пустите его!.. Покажите полѣнницы...—кричали женщины.

Полѣнницы были близко, смотрителя пустили. Онъ хотѣлъ какъ-нибудь уйти отъ нихъ, но его удержали.

— Послушай, Назаръ Пантелеичъ! Если ты съ нами такъ будешь вѣжливъ, мы и къ управляющему пойдемъ,—кричали бабы.

— Нѣтъ сегодня работы!!!

— Если ты мужчинъ не заставишь складывать полѣнницы, мы къ управляющему пойдемъ.

— Убирайтесь къ чорту! Кто полѣнницы разсыпалъ? Кто народъ искалѣчилъ?—кричитъ смотритель, увидя охающихъ больныхъ съ перешибленными руками или ногами.

— Бабы!

— Мужчины!!!

— Пошли вонъ! Свиньи!.. Везите въ лазаретъ больныхъ,—управляющій неравно пріѣдетъ...

Мужчины пошли прочь, къ варницамъ.

— Куда пошли! Эй, вы?!—кричалъ смотритель мужчинамъ.

Мужчины разбѣжались.

— Что, не правду мы говоримъ, что вы трусы?..

— Ну-ну! Каждый разъ съ вами мука. Идите къ варницамъ, да этихъ уберите.

Всѣ женщины стали къ двери въ варницу, откуда предполагалось носить соль по длиннымъ, не очень крутымъ лѣстницамъ, тянущимся до амбара саженъ на сто. Дверь была заперта. На одномъ плечѣ у каждой женщины болтался мѣшокъ; большинство изъ нихъ ѣли черный хлѣбъ. Не много женщинъ держали въ рукахъ небольшіе бураки съ квасомъ. Всѣ голосили, кто о чемъ хотѣлъ, но особенно о недавнемъ геройскомъ подвигѣ; сожалѣній объ изувѣченныхъ слышалось немного, потому что всѣ были въ такомъ настроеніи, что каждой хотѣлось непремѣнно попасть на работу.

Пелагея Прохоровна стояла сзади Лизаветы Елизаровны. Она не участвовала ни въ ссорахъ, ни въ разговорахъ; ее удивляла смѣлость промысловыхъ женщинъ и то, что онѣ здѣсь имѣютъ-таки превосходство надъ мужчинами. Особенно ее удивляли рѣзкія выраженія, бойкость и вертлявость Лизаветы Елизаровны, которая здѣсь не походила на хозяйскую дочь, дѣвушку смирную, какою она ее видѣла дома въ теченіе недѣли. А такъ какъ она молчала и женщины видѣли ее на промыслахъ въ первый разъ, то ей часто приходилось быть далеко отъ Лизаветы Елизаровны, которую она теряла изъ вида, но которая впрочемъ ее сама звала и потомъ держала то за руку, то за шугайчикъ, то за сарафанъ.

— Я тебѣ говорю, не отставай! Ототрутъ—не попадешь!—говорила она каждый разъ.

Но вотъ пришелъ смотритель. Женщины старались выдвинуться впередъ и оттерли Пелагею Прохоровну.

— Мокроносиха! — крикнула Лизавета Елизаровна, оглядываясь и увидавъ голову Пелагеи Прохоровны аршинахъ въ двухъ отъ себя, рванулась къ ней, столкнувъ съ мостковъ женщинъ десятокъ, и крѣпко схватила шугайчикъ Пелагеи Прохоровны.

— Какая ты разиня! Держись!—крикнула она сердито, толкая ее впередъ.

— Да толкаются.

Вмигъ Мокроносиха съ Ульяновой очутились передъ смотрителемъ, который отбиралъ отъ женщинъ мѣшки. Сзади смотрителя стояли Терентій Иванычъ, Григорій и Панфилъ Горюновы и двое другихъ рабочихъ. По лѣстницѣ поднимались при-

пасный или пріемщикъ соли въ амбаръ съ огромными ключами и одинъ рабочій.

— Куда ты ее поставила? Куда?!

— По мордѣ ее свистните! — голосили бабы, обращаясь къ Лизаветѣ Елизаровнѣ.

— Ну-ко, попробуй...

— Ты, Лизка, опять буянить... А это что за баба? — спросилъ смотритель, оглядывая Пелагею Прохоровну и отбирая отъ нея мѣшокъ.

— Тебѣ что за дѣло!

— А баба ничего... Ну, на эту будетъ. Пошли туда!...—проговорилъ онъ остальнымъ женщинамъ съ мѣшками.

— Назаръ Пантелеичъ! Родименькой!.. На эту?..—голосили женщины.

— Ну-ну... Пошли! Считайте мѣшки!—И смотритель швырнулъ отобранные мѣшки къ двери въ варницу.

Терентій Иванычъ сталъ считать мѣшки.

— Смотри: которые съ клеймами, тѣ только бери. Нѣтъ ли сшивокъ внутри, дыръ?

— Все въ исправности, — сказалъ Горюновъ. Непринятыя женщины побѣжали къ другой варницѣ.

— То-то... Онѣ толстопятыя всегда всѣ лѣстницы обсыпаютъ, какъ снѣгомъ... Ну, сегодня вамъ плата по гривеннику за сто мѣшковъ.

Женщины заголосили.

— Ну, не хотите, такъ пошли прочь.

— Всегда четвертакъ платилъ.

— Ну-ну. Пятнадцать копѣекъ и дѣлу начинъ. Начинайте, благословясь.

И смотритель, не слушая криковъ женщинъ, сталъ отпирать варницу. Въ варницу нахлынули чуть не разомъ всѣ принятыя сорокъ женщинъ, въ числѣ коихъ оказалась принятою и Степанида Власовна, которую до сихъ поръ ни дочь, ни Мокроносова не замѣчали въ большой толпѣ.

На стѣнѣ варницы, противоположной амбарамъ, были на большомъ пространствѣ начертаны мѣломъ кресты и палочки. Нѣкоторыя женщины присѣли и стали ѣсть, безцеремонно захватывая соль съ полатей; посыпавъ ее немного на куски, остальную заталкивали въ большіе карманы, замѣтно оттопырившіеся на бокахъ сарафановъ.

— Не нажрались еще, чтобъ вамъ треснуть!— говорилъ смотритель, отталкивая женщинъ отъ полатей.

— Начинай! Будетъ вамъ шалберничать-то, сороки.

Женщины похватали мѣшки, при чемъ безъ криковъ не обошлось, потому что каждой хотѣлось свой мѣшокъ получить, но пришлось брать какой попало, такъ какъ смотритель торопилъ, безцеремонно, колотя бабъ по спинамъ.

Смотритель раздѣлилъ бабъ на двѣ смѣны, по двадцати въ каждую. Начали насыпать мѣшки, потомъ вѣсить соль въ мѣшкахъ. Смотритель требовалъ, чтобы каждый мѣшокъ тянулъ не менѣе двухъ пудовъ; излишекъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, т. е. какъ бы сильно ни перетягивалъ двухъ-пудовую гирю, не сбрасывался.

Теперь только и слышно въ варницѣ:—поменьше сыпь! Скинь, Христа ради,—какъ перетянуло гирю...

— Ладно... Упрешь! Толста больно... Поднимай!

Молодые Горюновы только и дѣлали, что поднимали мѣшки на плечи женщинъ, и когда Лизавета Елизаровна поставила мѣшокъ на носокъ лѣваго сапога Григорья Прохорыча, онъ ущипнулъ ее, да такъ больно, что она взвизгнула, а смотритель, захохотавъ, сказалъ:

— Что, Лизка, вѣрно не на нашего наскочила!

Лизавета ударила всей пятерней по лицу Григорья Прохорыча такъ, что у него на щекѣ образовалось четыре полоски съ солью. Положивъ мѣшокъ на плечо, Лизавета Елизаровна пошла, какъ ни въ чемъ не бывало; но Пелагея Прохоровна почувствовала, что у ней мѣшокъ какъ-то не такъ, какъ у людей, лежитъ на плечѣ, и кажется ей тяжела эта ноша.

— Ну, ну... Чего вертишься съ мѣшкомъ-то, не отставай, — крикнулъ смотритель и начертилъ на стѣнѣ крестъ...

Этотъ крестъ означалъ число разовъ или число мѣшковъ этой смѣны.

Потомъ насыпанье соли для второй смѣны началось такимъ же образомъ. Эти женщины пошли къ амбару тогда, когда на верхней площадкѣ лѣстницы, предъ дверями амбара, показалась женщина съ порожнимъ мѣшкомъ на плечѣ. Всѣ двадцать солоносокъ шли по лѣстницамъ вразсыпную, въ разстояніи другъ отъ друга на сажень и на пять саженъ. По многимъ изъ нихъ можно было заключить, что онѣ уже давно привычны къ этому занятію и имъ нисколько не тяжела эта работа— подниматься постепенно съ ношей кверху по скользкимъ и шаткимъ доскамъ. Ступеньки сдѣланы коекакъ на крутыхъ подъемахъ и поворотахъ. Всѣ онѣ идутъ скоро, держа одною рукою мѣшокъ, а другою размахивая или подперевъ бокъ. Одна только Пелагея Прохоровна отстала саженъ на тридцать отъ нихъ. Изъ варницы на нее крикнули, она вздрогнула; солоноски оглянулись и подняли ее на смѣхъ... Теперь ужъ не такъ тяжело ей, а только скользко. Ей такъ и кажется, что ноги у ней подкашиваетъ, что ноги ея катятся, что она упадетъ, или вдругъ переломится доска и она провалится, а ухватиться не за что — перилъ нѣтъ... И чѣмъ дальше она идетъ, тѣмъ рѣзче ее пробираетъ вѣтеръ; чѣмъ выше она поднимается, тѣмъ больше увеличивается пугливость; она боится глядѣть внизъ, и только видъ другихъ женщинъ, уже возвращающихся съ пустыми мѣшками, не позволяетъ ей вернуться назадъ или бросить мѣшки съ лѣстницы и бѣжать съ промысловъ.

— Спаси, Царица небесная... Дойду, можетъ...— шепчетъ она.

Взошла она на верхнюю площадку; тамъ перила сдѣланы, ухватилась за перила и остановилась.

— Обломай перила-те! Ишь нѣженка какая! Мы почище тебя рожей-то, да не отдыхаемъ же.

«Будь оно проклято житье!»—думаетъ Пелагея Прохоровна и идетъ въ амбаръ.

— Что, Мокроносиха, устала?—спросила вдругъ Лизавета Елизаровна.

— Ой! голова кружится.

— Привыкнешь, и на крышу влѣзешь. Скорѣе, пойдемъ вмѣстѣ назадъ-ту.

Амбаръ имѣлъ вышины саженъ шесть. Въ немъ потолка не было, а только около стѣнъ на перекладины были положены доски. Несмотря на то, что противъ двери въ крышѣ сдѣлано слуховое окно, ставень котораго теперь былъ отодвинутъ, въ амбарѣ все-таки было не совсѣмъ свѣтло. Здѣсь соль не перевѣшивали, а двое рабочихъ только снимали мѣшки съ плечъ женщинъ, брали мѣшки за дно и вытряхивали соль внутрь амбара, а припасный, сидя напротивъ дверей за небольшимъ столикомъ, на которомъ кромѣ счетовъ и листа бумаги стоялъ еще графинъ съ водкой, клалъ на счетахъ каждый мѣшокъ и каждую смѣну, отмѣчая на бумагѣ карандашомъ какъ самую смѣну, такъ и число мѣшковъ въ смѣнѣ, заставляя во время своей выпивки съ холода водки погодить бабамъ ссыпать соль и часто путаясь поэтому въ смѣнахъ, за что его, конечно, ругали, какъ кто умѣлъ.

Сперва всѣ ходили скучные, оттого что не совсѣмъ размяли свои члены. Черезъ часъ женщины стали живѣе, скорѣе прежняго шли впередъ къ амбару и съ подпрыгиваньями бѣжали назадъ. Всѣ острили то надъ какой-нибудь неловкой женщиной, то надъ Пелагеей Прохоровной, ея дядей и братьями, о которыхъ теперь уже всѣ узнали, кто они такіе, задирали на ссору, изощрялись въ ловкости самимъ закидывать мѣшки на плечи, хохотали и старались, во что бы то ни стало, разозлить мужчинъ. Мало-по-малу и Пелагея Прохоровна попривыкла къ ходьбѣ и къ ношѣ, и она сдѣлалась сообщительнѣе: хотя ей совѣстно было шутить съ мужчинами, все-таки она ввернула два-три словца въ отпоръ смотрителю, который на нее, какъ замѣчали солоноски, обратилъ милостивое вниманіе. И ей казалось весело носить соль послѣ того, какъ она разъ двадцать поднялась кверху; прежній страхъ прошелъ, такъ что она сама смѣялась надъ своею трусостью. Одно ей не нравилось въ это время,—это то, что солоноски черезчуръ говорятъ нехорошія вещи... Чего, чего только онѣ не говорятъ о мужчинахъ, да и себя-то не очень жалѣютъ. Такого свободнаго обращенія, такихъ свободныхъ выраженій она и отъ роду не слыхивала въ терентьевскомъ заводѣ. Правда, и тамъ народъ обращается свободно въ масляницу, на гуляньяхъ, какъ напримѣръ въ Троицынъ день, когда молодежь на горѣ березки хоронитъ, такъ зато время такое праздничное, а не рабочее. Стали попрекать Пелагею Прохоровну нехорошимъ житьемъ; Пелагея Прохоровна старалась молчать, понимая, что никакимъ ея оправданіямъ не повѣрятъ; наконецъ-таки разсердили и ее, и она крикнула:

— Мало вы меня знаете, безсовѣстныя вы эдакія!

Молодыя женщины на смѣхъ подняли эти слова, а пожилыя отстали. Надоѣли женщинамъ остроты, насмѣшки, издѣванья другъ надъ дружкой; всѣ начали чувствовать усталость, а отдыхать некогда: надо хоть сотню выверстать, а ужъ смотритель пошелъ обѣдать, значитъ двѣнадцать часовъ, а всего снесено только по тридцати восьми мѣшковъ...

Затянула одна голосистая женщина на лѣстницѣ пѣсню, подтянули еще три женщины и запѣли всѣ, исключая Пелагеи Прохоровны, которая не понимала этой промысловой пѣсни про тяжелое промысловое житье, изъ котораго выходъ только одна быстрая рѣченька, уносящая волюшку къ милому дружочку, уплывшему куда-то въ море-океанъ на островъ хлѣбородный, на который бѣдную, несчастную рабу злые люди-лиходѣи не пускаютъ, и кромѣ того ей про волюшку и объ миломъ и думать не велятъ.

Послѣ того, какъ смотритель ушелъ, женщины стали приставать къ Горюнову, чтобъ онъ не вѣсилъ соль, на томъ основаніи, что припасный ее не перевѣшиваетъ; Горюновъ сперва не соглашался, но къ женщинамъ пристали и рабочіе, насыпавшіе соль. Горюновъ уступилъ и даже пять лишнихъ крестовъ прибавилъ на стѣнѣ. За это онъ такъ понравился всѣмъ женщинамъ, что они его превозносили до небесъ; Пелагеѣ Прохоровнѣ говорили, что дядя у нея отличнѣйшій человѣкъ, а изъ дѣвицъ нѣкоторыя охотно заигрывали съ его племянниками, изъ коихъ Панфилу прибавляли лишнихъ три года, такъ какъ онъ на вершокъ только былъ ниже ростомъ Григорья.

Первая смѣна стала обѣдать, то есть ѣсть ржаной хлѣбъ, запивая его водой. Въ это время стали приходить въ варницу взрослые парни. Появленію парней дѣвицы обрадовались, потому что онѣ теперь могли замѣниться ими. Парни вели себя чинно, стараясь ввернуть какое-нибудь мудреное словцо женщинамъ, не показывая впрочемъ вида, что оно произнесено для того, чтобы его похвалила его зазноба. Но это была вѣжливость вообще къ дамскому полу; парни здѣсь не осмѣливались подойти прямо каждый къ своей подругѣ, начать съ ней разговоръ, потому что это было неприлично, такъ какъ тутъ находились даже и матери нѣсколькихъ дѣвицъ, и такого парня подняли бы на смѣхъ всѣ женщины.

Пелагея Прохоровна сидѣла рядомъ съ Лизаветой Елизаровной. Обѣ онѣ посматривали на парней, но первая смотрѣла на нихъ съ любопытствомъ, а вторая—съ презрѣніемъ. Пелагея Прохоровна замѣтила, что парни не вызываются сами носить соль, а, напротивъ, ихъ сами дамы вызываютъ.

— Поняла ли? Это наши кавалеры. Гляди, вонъ пятеро ужъ понесли, а вонъ тѣ двое, что стоятъ облизываются, съ носомъ остались...

— Что такъ?

— Одинъ-то съ Одувановской все хороводился, да она сегодня о полѣнницу ушиблась... И стыда нѣтъ у человѣка: вѣдь знаетъ, что она нездорова, пришелъ.

— А другой?

— Ну, тотъ погодитъ... У него губа больно толста.

И Лизавета Елизаровна съ негодованіемъ встала и пошла съ Мокроносовой.

— Охъ вы, вахлаки! А еще парни прозываетесь, — сказала она Григорью Прохорычу, съ неудовольствіемъ взглянувъ на него,

— Собака, такъ собака и есть!— отвѣтилъ Григорій Прохорычъ.

— Оселъ! Нѣтъ, штобы замѣнить, — сказала Лизавета Елизаровна.

Григорью Прохорычу сдѣлалось стыдно, и онъ, когда сестра и Ульянова подошли къ нему, самъ вызвался нести за Лизавету Елизаровну соль.

—Давно бы такъ! А ты неси за сестру, —сказала Лизавета Елизаровна Панфилу.

Мокроносова и Ульянова замѣнили молодыхъ Горюновыхъ, но Панфилъ сходилъ только два раза: больше идти у него не хватило силъ; поэтому обѣ женщины стали чередоваться. Два парня, про которыхъ говорила Пелагеѣ Прохоровнѣ Лизавета Елизаровна, долго стояли около двери варницы, какъ оплеванные, и молча переносили насмѣшки. Одинъ изъ нихъ было попросилъ Лизавету Елизаровну нести за нее соль, но она ему сказала:

— Не стоишь! у меня другой есть помощникъ.

— Ну, погоди!.. Каковъ ни на есть, дамъ твоему помощнику.

— Не безпокойтесь пожалуйста.

— Ноги я ему обломаю. — Съ этими словами парень ушелъ.

Въ одну изъ смѣнъ Лизаветѣ Елизаровнѣ пришлось идти сзади Григорія Прохорыча.

— Что, небось усталъ?—спросила она его.

— Ничего.

— То-то и есть! Наше дѣло только хвастаться... Только и слышно отъ мужчинъ: «охъ, какъ чижало». А вотъ мы и бабы, да не говоримъ, что намъ тяжело.

Григорій Прохорычъ только промычалъ. Тѣмъ и кончился разговоръ въ эту смѣну. Въ другую смѣну женщины запѣли пѣсню, имъ подтягивали и парни, голоса которыхъ рѣзко отличались отъ женскихъ голосовъ. Лизавета Елизаровна пѣла немного, она часто останавливалась, прислушиваясь, поетъ или нѣтъ Горюновъ.

— Ты что жъ не поешь? Али горлу твоему тоже чижало?

— Кабы умѣлъ, запѣлъ бы...

— Ну, и парень! Чему васъ въ заводѣ-то обучали?

— У насъ другія пѣсни, на другой голосъ.

— Ну-ка спой.

Горюновъ не сталъ пѣть.

Къ вечеру стали появляться на варницахъ и мужчины—братья, дяди и мужья, покончившіе съ работами на другихъ варницахъ; въ числѣ ихъ было шесть человѣкъ извозчиковъ и Елизаръ Матвѣичъ, который обыкновенно пріѣзжалъ съ кордона прямо въ варницы, такъ какъ дорога до дома шла мимо промысловъ.

— Дайте-ко, бабы, мы поносимъ, разомнемъ косточки, — напрашивались мужчины, безцеремонно хватаясь за мѣшки. Женщины хотя и изъявляли свое неудовольствіе за то, что мужчины не въ свое суются дѣло, однако съ радостью отдавали мѣшки и садились, говоря:

— Охъ устала!

— Не ты бы говорила, да не мы бы слушали. Съ самаго съ обѣда не носила.

— Ахъ, ты... Сосчитай, сколько теперь-то на бабъ мужчинъ,—перекорялись женщины.

Мужчинъ съ парнями было и теперь на половину меньше всѣхъ женщинъ.

Женщины, числомъ девятнадцать, стали чередоваться съ тѣми, которымъ некѣмъ было замѣниться, болѣе прежняго острили надъ мужчинами и парнями, которые къ вечеру уже безъ церемоніи обращались со своими предметами, щекотя и щипля ихъ, перекидываясь съ ними любезными словцами въ родѣ «Матрешка толстопятая», «Офимья безголосая», на что и имъ отвѣчали соотвѣтственными выраженіями. Горюновъ старшій скоро замѣтилъ, что соленошеніе идетъ не такъ успѣшно, какъ раньше, и прибавилъ еще два креста по просьбѣ одной тридцатилѣтней здоровой женщины, которой онъ частенько отпускалъ каламбуры, что̀ и смѣшило ее чуть не до слезъ. Онъ не обращалъ вниманія на шалость молодежи, но когда уже невозможно было опредѣлить, кто изъ какой смѣны, а молодежь стала дурачиться больше и бѣгать по варницѣ, тогда онъ крикнулъ.

— Таскай, пока свѣтло!

— Ставь крестъ!—отвѣтили ему. .

— Да я и такъ десять крестовъ лишнихъ поставилъ.

— Спасибо на этомъ, прибавь еще десяточекъ.

— Кромѣ шутокъ говорю — робь! Смотритель придетъ—кто будетъ въ отвѣтѣ, какъ не я?

— На праздникѣ угостимъ! Считай за нами.

Такъ Горюновъ ничего и не могъ сдѣлать и относилъ всю причину безпорядковъ къ присутствію мужчинъ, до которыхъ бабы работали усердно. «Впрочемъ», думалъ онъ «мнѣ какое дѣло. Онѣ будутъ получать деньги, а не я», — и онъ подозвалъ племянницу.

— Ты что же сѣла?

— А что мнѣ идти, когда никто нейдетъ. Что скажутъ?

— Да вѣдь еще сотни нѣту... Подумай, сколько тебѣ придется денегъ. Я и такъ ужъ много лишнихъ крестовъ поставилъ.

— Бабы! сходите разъ, да и баста!—крикнула Пелагея Прохоровна.

— Смотрите, какъ наша-то заводчанка разохотилась! Пойдемте не то, —проговорила одна женщина.

На этотъ разъ пошли всѣ сорокъ женщинъ въ разъ, отстранивъ мужчинъ: въ продолженіе всего хода пѣли. Это былъ послѣдній разъ.

Припасный, не смотря на то, что въ графинѣ уже не было водки, бодро держался на ногахъ и по мѣрѣ того, какъ его пробиралъ хмѣль, становился придирчивѣе и ругался—по привычкѣ безъ мѣры, но не отъ сердца. Сколько его ни просили

женщины сдѣлать прибавку въ своей бумагѣ, онъ твердилъ одно:—«нельзя!»

Заперевъ дверь амбара, припасный съ рабочими сошелъ внизъ. Тамъ, около варницы, собрались солоноски, около нихъ терлись мужчины и парни. Дверь въ варницу захлопнули за припаснымъ. Тамъ былъ въ это время приказчикъ, пріѣхавшій съ мѣшкомъ мѣдныхъ денегъ, смотритель Терентій Иванычъ.

— Противу прошлыхъ разовъ сегодня больше отнесено соли. Не видите разѣ, что соли осталось чуть не на полъ-сутокъ, — говорилъ приказчикъ, указывая на полати.

— Да и я сомнѣваюсь. Больше восьмидесяти мѣшковъ по зимамъ не вынашивали, а сегодня вынощено девяносто девять,—говорилъ смотритель.

Припасный сталъ считать на своей бумагѣ палочки. По его запискѣ оказалось, что первая смѣна прошла шестьдесятъ девять разъ, вторая—семьдесятъ.

— Чортъ васъ разберетъ тутъ! Сколько же всего разовъ-то схожено?—кричалъ приказчикъ.

— Я самъ считалъ! Я не могъ ошибиться, — проговорилъ смотритель, строго смотря на Горюнова.

— А я даромъ сидѣлъ?—горячился припасный.

— Взяточники! Мошенники! Живодеры! — кричалъ приказчикъ.

— Помилуй, Иванъ Сидорычъ! Съ чего тутъ взято!

— Вы думаете, надуете меня? Нѣ-ѣтъ!—И подошедши къ стѣнѣ, онъ стеръ половину крестовъ.

— Вотъ коли такъ! Не плутуйте потомъ... Подай мнѣ свою бумагу да зовите бабъ,—проговорилъ приказчикъ, обращаясь къ припасному и къ остальнымъ.

Когда женщины вошли въ варницу, въ ней уже былъ зажженъ въ фонарѣ сальный огарокъ.

— Плохо же вы, бабы, нынче работаете. Прежде по полутораста мѣшковъ вынашивали, а теперь и плата больше, а вы и пятидесяти мѣшковъ въ день не можете вынести... Вольныя нынче стали!! Свободу вамъ дали!

Женщины плохо понимали слова приказчика.

— Что рты-то разинули? Сказано, всего по сорока пяти мѣшковъ вынесли.

— Не грѣхъ тебѣ, Иванъ Сидорычъ, обижать!—завопили женщины.

— Ничего не знаю, такъ записано. Хотите получить по десяти копеекъ. Итакъ ужъ цѣлыхъ три копейки дѣлаю накладки.

Женщины было начали возражать, но приказчикъ прикрикнулъ на нихъ и припугнулъ ихъ тѣмъ, что онѣ и этихъ денегъ не получатъ. Женщины согласились, ругая смотрителя и припаснаго. Разсчитавшись съ женщинами, приказчикъ приказалъ смотрителю непремѣнно очистить завтра варницу отъ соли, сказавъ ему, что онъ завтра не будетъ, а онъ, смотритель, можетъ самъ придти или пріѣхать къ нему за деньгами для расплаты съ солоносками. Потомъ приказчикъ уѣхалъ.

— Экъ, чортъ его принесъ! Я хотѣлъ самъ разсчитать своими деньгами, а его сунуло... Однако ты, Горюновъ, ловокъ приписывать. А знаешь ли ты, что стоитъ эта приписка? Сколько ты слупилъ съ бабъ?

— Провалиться на семъ мѣстѣ, чтобы я приписалъ.

— Клятвамъ мы, братецъ, не вѣримъ. Эту вину я тебѣ прощаю на первый разъ, потому единственно, что тебѣ на первыхъ порахъ разжиться немного не мѣшаетъ.

— Назаръ Пантелеичъ...

— Не заговаривай. За тобой есть должишко?.. Впередъ попадешься, не плачь. Спроси вонъ припаснаго, какъ эти дѣла нужно обдѣлывать, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы.

Съ этими словами смотритель вышелъ изъ варницы, заперевъ дверь.

Терентій Иванычъ долго стоялъ въ раздумьи у варницы. Ни одной веселой мысли не приходило ему въ голову. Жизнь казалась ему такою противною, приказчикъ, смотритель и припасный такими гадкими, что онъ готовъ былъ въ эту же ночь уйти въ другое мѣсто. А солоноски въ сопровожденіи мужчинъ съ пѣснями выходили съ промысловъ въ село. И далеко раздавалась ихъ протяжная, безтолковая, невеселая пѣсня.

VII.

Такъ же начался и второй день на промыслахъ; только къ обѣду смотрителя соль была вся выношена изъ варницы, въ которой служилъ Терентій Иванычъ; но женщины не шли по домамъ, а дожидались разсчета. Теперь онѣ положительно знали, сколько каждою сносено мѣшковъ, потому что записывалъ самъ смотритель, который прежде, чѣмъ идти домой, объявилъ, что каждой бабѣ приходится за сегодняшнюю носку по шести съ половиною копеекъ. Женщины отъ нечего дѣлать, въ ожиданіи смотрителя, сперва хвастались тѣмъ, кто сколько изъ нихъ принесъ вчера домой на рубахѣ и на загривкѣ соли, насыпавшейся туда отъ мѣшковъ, кто сколько принесъ соли въ мѣшковыхъ складкахъ; каждая старалась убѣдить другую, что она постоянно воруетъ соль, а одна дѣвица укоряла тоже дѣвицу, что та даже вся пропитана солью, какъ татарка козлятиной. Но тутъ не было и тѣни неудовольствія; говорили потому объ этомъ, что говорить было не о чемъ, къ тому же на промыслахъ безъ воровства нельзя жить — это даже говоритъ и Терентій Иванычъ, который разсказалъ уже женщинамъ нѣсколько разъ про вчерашній урокъ, данный ему смотрителемъ. Наконецъ надоѣло болтать, стали бороться, а болѣе молодыя и вертлявыя даже начали кататься съ лѣстницы, какъ будто у нихъ и заботы никакой не было. Но смотритель не приходилъ долго; женщины стали зябнуть; развлеченій нѣтъ никакихъ. Пошли на берегъ; тамъ по льду кое-гдѣ ребята катаются на конькахъ, на санкахъ или просто бѣгаютъ, кидаясь въ то же время и снѣгомъ. Скучно и здѣсь, такъ бы и не глядѣлъ ни на что,—не такъ, какъ

лѣтомъ. Тогда такъ и рвутся солоноски на берегъ; усядутся онѣ на набережныхъ или на сходняхъ и начинаютъ пѣть... И чѣмъ дольше сидитъ женщина, тѣмъ ей кажется легче; она сосредоточивается сама въ себѣ. Нравится ей этотъ просторъ, эти бурыя волны, лодки, слегка колеблемыя ими; сердце у ней бьется, ноетъ и ей хочется куда-то... И долго-долго тогда сидятъ женщины, до тѣхъ поръ, пока ихъ не перевезутъ всѣхъ на другой берегъ или пока не покатаетъ кто-нибудь въ лодкѣ.

Пришелъ смотритель, разсчиталъ женщинъ, а Горюнову сказалъ, что съ понедѣльника нужно пустить варницу въ ходъ; до понедѣльника же онъ будетъ свободенъ. Горюновъ попросилъ у него денегъ.

— Какія такія тебѣ деньги?—спросилъ съ неудовольствіемъ смотритель.

— Я ужъ восемь дней прослужилъ.

— Стыдился бы ты говорить-то. Вѣдь ты ужъ содралъ съ бабъ шесть цѣлковыхъ?

— Не стыдно тебѣ говорить-то это? Не знаешь ты меня.

— Еще говори спасибо, что я держу тебя... А что касается до жалованья, такъ ты долженъ помнить условіе.

— Но чѣмъ же мнѣ жить?.. Самъ разсуди, я нанялся не для того, чтобы даромъ служить.

— Даромъ! Ха-ха!.. И онъ мнѣ еще говоритъ!.. Ступай-ка, братецъ ты мой, домой, сходи въ баню, а завтра помолись Богу за наше здоровье: можетъ, поумнѣе будешь.

Смотритель ушелъ.

— И это у человѣка нѣтъ совѣсти. Ну, хорошее же я житье нашелъ. Двадцать пять лѣтъ по крайней мѣрѣ я жилъ своимъ умомъ, а теперь... Нѣтъ, правду сказалъ Короваевъ, не житье здѣсь...

Задумался Горюновъ крѣпко. Денегъ у него всего только рубль, идти въ другое мѣсто нѣтъ тоже резона, потому что нужно напередъ отыскать мѣсто... Идти на золотые пріиски, — пожалуй дѣло рискованное. Казенные пріиски и пріиски богатыхъ людей ему извѣстны; они обставлены такъ, что тамъ трудно чѣмъ-нибудь поживиться, а хотя и платятъ за работу, то тоже и тамъ въ глуши начальство самоуправничаетъ, какъ ему хочется, потому что, имѣя деньги, во всякое время можетъ найти рабочихъ изъ бѣглыхъ, ссыльныхъ и другихъ людей за безцѣнокъ. Остается идти на такіе пріиски, которые только что открываются, хозяева которыхъ, люди неопытные въ этомъ дѣлѣ, вручаютъ разработку мошенникамъ, которые только высасываютъ у хозяевъ деньги и по нерадѣнію своему и неумѣлости доводятъ пріиски до того, что ихъ потомъ или бросаютъ по негодности, или продаютъ за безцѣнокъ.

— Надо разузнать объ этомъ, во что бы ни стало... И лишь бы попасть мнѣ только на такой пріискъ, забралъ бы я его въ руки.

Елизаръ Матвѣичъ былъ дома, и когда семейство его ушло въ баню, Горюновъ сообщилъ ему свои мысли.

— И я, братъ, думаю объ этомъ ужъ давно. Недавно мимо меня проходилъ одинъ бѣглый. Попросился погрѣться. Я впустилъ и сталъ спрашивать: не знаетъ ли онъ, гдѣ жизнь лучше? Ну, конечно онъ захохоталъ, какъ и я въ тѣ поры, какъ впервые васъ встрѣлъ... Ну, онъ все-таки сказалъ: супротивъ, говоритъ, того мѣста, гдѣ я жилъ, не бывать лучше! Сталъ я отъ него добиваться правды, — нельзя, говоритъ: сказывать не велѣно, потому, говоритъ, штука!.. Раскольники тѣмъ мѣстомъ пользуются; золота, говоритъ, тамъ больно много, только про то раскольники и знаютъ.— Ну, я думалъ, онъ вретъ, сталъ пытать: коли, молъ, правду говоришь, зачѣмъ не жилъ тамъ? Скажи да и только мнѣ мѣсто, и говорю ему: живи, молъ, ты у меня хоть сколько... Ну, онъ уѣздъ сказалъ, а мѣста нѣтъ. Тамъ, говоритъ, верстахъ въ пятидесяти уже моютъ золото, только непорядковъ много. А убѣжалъ онъ изъ острога и опять туда же пробирался.

— Не махнуть ли намъ туда, Елизаръ Матвѣичъ?

— Махнуть!.. Легко сказать. А пойди — и до половины не дойдешь.

— Оно, правда, верстъ четыреста будетъ... Только я на твоемъ мѣстѣ не такъ бы думалъ.

— Какъ же?

— А взялъ бы да и срубилъ остальной лѣсъ.

— Ну, нѣтъ! Легко срубить, а отсчитываться-то какъ?

— О, Елизаръ Матвѣичъ! Я думаю, нечего тебя учить отсчитываться!

Скоро пріятели разстались; но оба они не спали цѣлую ночь, думая, какимъ бы образомъ имъ разжиться деньгами, какъ лучше сдѣлать относительно семействъ: оставить ли ихъ здѣсь, или взять съ собой? У обоихъ только и было мысли о золотыхъ пріискахъ... «Шутка работать на пріискахъ, своими руками доставать и промывать золото. Да тогда нужно дуракомъ, олухомъ быть, чтобы пропускать этотъ металлъ въ чужія руки даромъ. Вотъ теперь дозволено даже крестьянамъ самимъ искать золото, за это имъ деньги платятъ, только имѣть его у себя или продавать его нельзя. Вотъ бы тогда я сталъ богачъ; сперва бы сдѣлался довѣреннымъ, потомъ записался бы въ купцы...» И много, много хорошаго шло въ головы обоихъ искателей счастья; много приходило несбыточнаго и много такого, что могло осуществиться при особенномъ счастіи и при ловкости человѣка.

Утромъ въ воскресенье въ домахъ происходила стряпня. За неимѣніемъ большихъ денегъ Степанида Власовна пекла ячневыя ватрушки и пирогъ съ грибами. Пелагеѣ же Прохоровнѣ нечего было печь: не на что было; хотя Степанида Власовна и предлагала ей капусты, но у нея не было муки, и она еще рано утромъ купила на рынкѣ двѣ ковриги хлѣба и фунтъ мяса. Терентій Иванычъ сидѣлъ у окна задумчиво, племянники разсуждали о бабахъ и часто ссорились. Всѣ эти четыре лица, казалось, не обращали вниманія другъ на друга и за исключеніемъ братьевъ не относились другъ къ другу ни съ какимъ вопросомъ, и какъ будто тяготились другъ другомъ. Братья еще плохо пони-

мали жизнь; дядю считали за человѣка, равнаго себѣ относительно работы, и только потому, что онъ теперь уставщикъ на варницѣ, думали, что онъ долженъ имѣть деньги, и имъ придется работать на варницахъ шутя. Пелагея Прохоровна думала, что, пришедши сюда, она промѣняла кукушку на ястреба. Здѣсь она хотя и свободная женщина, зато у нея ничего нѣтъ, а пріобрѣтетъ ли она что-нибудь впослѣдствіи—сказать трудно. Работа тяжелая, люди чужіе, обращеніе у нихъ нехорошее. И все это случилось по милости дяди и Короваева. Терентій Иванычъ думалъ, что ему не надо бы было брать племянницу и племянниковъ: пусть бы они жили, какъ хотятъ, и пусть ищутъ себѣ счастья сами. А то завелъ онъ ихъ въ такое мѣсто, гдѣ они совсѣмъ собьются съ толку, потому что люди молодые.

Зазвонили къ обѣднѣ. Пелагея Прохоровна стала чесать голову. Пришла Лизавета Елизаровна.

— Ты пойдешь?—спросила она Пелагею Прохоровну.

— Чего я тамъ забыла.

— Пойдемъ. У насъ пѣвчіе очень хорошо поютъ.

— Ну ужъ! противъ городскихъ врядъ ли споютъ.

— У васъ только и хорошо въ городѣ, а сами... Пойдемъ!

— И я пойду!—сказалъ Терентій Иванычъ.

— И я! и я!—прокричали два брата.

Черезъ полчаса Горюновы, Пелагея Прохоровна и Лизавета Елизаровна отправились въ православную церковь. Церковь была биткомъ набита народомъ; но мастеровые стояли направо, а заводскія женщины и дѣвицы налѣво, исключеніе составляли аристократки, которыя стояли впереди на правой сторонѣ, и ихъ какъ будто отгораживали отъ рабочаго класса купцы, чиновники и вообще люди высшаго сельскаго общества. Пожилые рабочіе молились усердно, можно сказать, отъ всей души; но молодежь промысловая, надо сказать правду, пришла сюда ради развлеченія: послушать пѣвчихъ, дьякона, посмотрѣть на дѣвицъ, на ихъ наряды и при случаѣ подмигнуть и скорчить лицо.

Послѣ обѣдни холостые мужчины отправились или въ гости къ своимъ невѣстамъ на капустный или грибной пирогъ, или въ харчевни; семейства шли отдѣльно кучками, молодежь говорила незамужнимъ дамамъ любезности, но изъ приличія не выходила, потому что въ селѣ всѣ семейства были на перечетѣ и никто не хотѣлъ, чтобы про него или его дочь говорили дурно. Кто шелъ черезъ рынокъ, тотъ покупалъ мелкихъ кедровыхъ орѣховъ, но другихъ не потчивалъ и самъ не угощался, такъ какъ праздникъ состоялъ въ томъ, чтобы сперва пообѣдать, потомъ поспать, потомъ поиграть до вечера въ карты, развлекаясь между прочимъ и орѣхами.

Скуденъ былъ обѣдъ Горюновыхъ. Пелагея Прохоровна и Терентій Иванычъ молчали, но не молчали братья.

— У людей дакъ пироги, а у насъ все рѣдька да рѣдька!—говорилъ Григорій Прохорычъ.

— И это хорошо,—замѣтилъ дядя.

— Робишь, робишь, а поѣсть нечего.

— Ужъ молчалъ бы лучше! сколько ты выробилъ денегъ-то — проговорила Пелагея Прохоровна.

— Что ты меня упрекаешь? развѣ я не заплачу вамъ! Ты своего-то Короваева упрекай, что онъ бросилъ тебя.

— Гришка!—крикнулъ дядя.

— Я давно Гришка!.. нечего кричать-то.

— Кабы ты былъ умнѣе, не говорилъ бы!—И Терентій Иванычъ вышелъ изъ-за стола.

— Ты, дядя, что же?—спросила съ испугомъ Пелагея Прохоровна.

— Я сытъ...

— Да щей-то похлебай.

— Не хочу.

И Терентій Иванычъ, одѣвшись, ушелъ къ хозяину, но Ульяновъ тотчасъ послѣ обѣда куда-то ушелъ.

Сестра и оба брата доѣли обѣдъ молча; потомъ братья ушли. Пелагея Прохоровна прилегла немного, но ей сдѣлалось страшно. Она отправилась къ хозяйкѣ, которая въ это время уже лежала на печи, а дѣти ея, кромѣ Марьи, играли въ карты.

— А что же братья?—спросила Лизавета Елизаровна.

— Ушли.

— Я вотъ прошу мамоньку, чтобы вечерку намъ устроить...—начала Лизавета.

— Толкуй еще!—проговорила мать съ печи.

— Ну, мамонька, люди устраиваютъ, а намъ отчего не устроить.

— Не выдумывай.

Лизавета Елизаровна дала гостьѣ горсть орѣховъ, и онѣ стали играть на орѣхи. Пришелъ Григорій Прохорычъ.

— Непремѣнно куплю себѣ коньки! Всѣ катаются,—сказалъ онъ.

— Голову сломишь. А угощенье принесъ?—спросила Лизавета Елизаровна.

— Какое?

— Невѣжа. А еще въ городѣ жилъ. Убирайся!

Григорія Прохорыча не принимали играть.

— Дайте на то въ займы денегъ!—сталъ просить Григорій Прохорычъ.

— Хорошъ мужчина: у хозяевъ денегъ проситъ на угощенье. Степанъ, гони его!

— Лизка, не дури!—проговорила съ печи мать.

— Не твое дѣло, мамонька. Спи тамъ.

— Дадите вы уснуть!

Мать слѣзла съ печи и усѣлась тоже играть въ карты; Григорій Прохорычъ былъ принятъ. Горюновъ между тѣмъ вошелъ въ одно питейное заведеніе, которое по случаю праздника было биткомъ набито рабочими. Но пьяныхъ въ немъ не было еще ни одного человѣка, потому что всѣ пришли сюда только что послѣ обѣда покалякать или провести весело время. Хозяинъ заведенія не былъ въ претензіи за то, что никто не бралъ водки, а только курилъ махорку. Онъ зналъ, что, чѣмъ больше будетъ въ его заведеніи посѣтителей, тѣмъ больше

будетъ къ вечеру выручки. Рабочіе толковали о разныхъ дѣлахъ, обращаясь часто за подтвержденіемъ своихъ мнѣній къ хозяину: двое насвистывали слегка; двое тоже слегка наигрывали на гармоникахъ, одинъ игралъ на балалайкѣ, но никто никому не мѣшалъ, потому что если разговоръ касался держащаго въ рукахъ гармонику, то онъ громко отвѣчалъ, не выпуская изъ рукъ гармоники.

— Что, говорятъ, Назарко тебя надулъ? — спросилъ одинъ рабочій, обращаясь къ Горюнову, когда тотъ вошелъ.

— А ты почему знаешь?

— Это не секретъ. Тутъ, братецъ, шила въ мѣшкѣ не утаишь. Что жъ ты теперь думаешь дѣлать?

— Подожду еще недѣлю, тогда...

— Тогда онъ и скажетъ: покорно благодаримъ, задаромъ-де служили нашей милости.

— Хоть ты и заводскій человѣкъ, а практики у тебя ни на грошъ нѣтъ!

— Чево ты толкуешь? Какую такую ты еще механику выдумалъ?—прокричалъ другой рабочій.

— Уговорить другихъ: не хотимъ-де за эту цѣну робить.

— Дуракъ! Да онъ тебя прогонитъ. Развѣ мало нашего брата, что безъ работы шляются? Развѣ нынѣ мало развелось нищихъ?

— А отчего? Оттого, что мы сами плохи.

— Какъ?

— А такъ. Нѣтъ у насъ согласія. Такъ-ту мы по отдѣльности тараторимъ, а сбери насъ всѣхъ, и сало во рту застыло.

Народъ загалдѣлъ.

— Коснись дѣло до тебя, ты первый лыжи дашь!

— Что жъ, мнѣ одному въ петлю лѣзти? Одинъ въ полѣ не воинъ. А вотъ мы даже насчетъ платы не можемъ сговориться! Что сказано въ Положеньи-то: рабочіе должны выбирать старостъ, а гдѣ они старосты?

— Поди-ко сунься!

— Нѣтъ, можно бы собраться хоть сотнѣ-другой и выбрать припаснаго смотрителя...

— Что ты толкуешь, братецъ, выбрать?.. Тебя еще вѣрно не дирали хорошенько-то. Помнишь ли ты прошлогоднее дѣло?

— А кто имъ велѣлъ барки рубить да муку топить?

— Такъ и слѣдовало!

— Вовсе не такъ. Собраться всѣмъ селомъ къ управляющему и требовать платы.

Эти разсужденія продолжались еще долго и расписывать ихъ нѣтъ никакой надобности, потому что они рѣшительно не приводили рабочихъ ни къ какой цѣли. Дѣло въ томъ, что согласія между рабочими не существовало, потому что они работали на разныхъ варницахъ, принадлежащихъ разнымъ господамъ, и жили дружно только съ тѣми, которые работаютъ съ ними вмѣстѣ и которые горой стоятъ за товарища. А такъ какъ на однихъ промыслахъ было нѣсколько лучше другихъ промысловъ и требованія первыхъ были больше послѣднихъ, то послѣдніе, завидуя первымъ, были недовольны ими, говоря, что они заботятся больше о себѣ, чѣмъ о товарищахъ, только работающихъ отъ нихъ отдѣльно. Кромѣ того одни изъ рабочихъ были слишкомъ робки; они привыкли сносить все терпѣливо, и если у нихъ спрашивали мнѣнія, то они, наученные опытомъ, ничего не могли посовѣтовать, находя всѣ толки безполезными; другіе старались какъ-нибудь поддѣлаться къ какому-нибудь мелкому начальнику изъ-за личной выгоды; третьи, поправившись немного выгодною женитьбою, только въ своей компаніи были бойки. Молодежь была конечно смѣлѣе, ей бояться было нечего, но такъ какъ она не могла обходиться безъ любви, увлекалась дѣвушками и женщинами, то и отъ нея, т. е. отъ всей сельской молодежи, нечего было добиваться единодушія, если одна половина ея ревновала другую къ предметамъ своей любви. При этомъ надо еще взять во вниманіе то, что рабочіе живутъ въ селѣ въ нѣсколькихъ улицахъ или порядкахъ, носящихъ названія, соотвѣтственныя или мѣстности, или какой-нибудь личности, или данныя какому-нибудь событію, и въ нихъ православные смѣшиваются съ единовѣрцами и отчаянными раскольниками, которые только въ частности заботятся о себѣ, о своихъ родныхъ и партіяхъ. Поэтому если бы и пришлось потребовать голоса отъ всѣхъ рабочихъ всего села, то разноголосица вышла бы большая, и у начальства недостало бы терпѣнія выслушать мнѣніе каждой партіи, каждаго промысла еще и потому, что это начальство дѣлилось на нѣсколько лицъ, изъ коихъ каждое оберегало свой постъ, защищая интересы своего хозяина, враждебно относясь къ другому лицу.

Споры, какъ водится, прекратились за выпивкой водки по стакану. Нѣсколько человѣкъ хотѣли было возобновить ихъ, но нашлись другіе разговоры— о женщинахъ, о томъ, сколько бы можно было при постоянной работѣ выварить соли; что можно бы было устроить варницы каменныя, а не деревянныя, потому что деревянныя легче сгораютъ, отчего уменьшаются работы. Говорили о томъ, что можно бы было по всему берегу сдѣлать такія же набережныя, какъ противъ собора, для того, чтобы село не затопляло, а то выстроили набережную для баръ, а рабочихъ ходить туда по вечерамъ не пускаютъ, будто они не вѣсть какіе воры. Много было говорено въ заведеніи; много было сказано хорошаго, практическаго, до чего иному барину пришлось бы долго додумываться. Въ этомъ заведеніи рѣдкій человѣкъ не былъ практическимъ человѣкомъ, пріобрѣтшимъ практику долголѣтнимъ опытомъ, работою на варницахъ, гдѣ онъ развивался съ дѣтства около добыванія и обрабатыванія соли, но тѣмъ и заканчивалось его умственное развитіе, и онъ ничего уже больше не могъ выдумать кромѣ того, что лошадей въ насосахъ можно бы было замѣнить какою-нибудь машиною, какъ это устроено на пароходахъ, что если и существуютъ еще коноводки, большія барки, сплавляемыя съ солью, дѣйствующія посредствомъ лошадей, такъ для того, чтобы хозяевамъ и ихъ главнымъ помощникамъ сберечь въ свою пользу капиталъ. Но и эти раз-

говоры были не больше, не меньше, какъ препровожденіе времени.

Терентій Иванычъ не удивлялся понятливости рабочихъ, находя ихъ даже развитѣе своихъ терентьевцевъ. Но чѣмъ больше разговаривали рабочіе, тѣмъ больше Горюнову казалось, что онъ здѣсь человѣкъ лишній, такъ какъ всякому рабочему хотѣлось бы занять его мѣсто, и что тѣ же рабочіе издѣваются надъ нимъ, потому что смотритель хочетъ пользоваться даровыми деньгами, назначивъ въ уставщики человѣка, незнакомаго съ солянымъ дѣломъ,—такого, который еще не умѣетъ воровать.

Рабочіе мало-по-малу оживлялись болѣе и болѣе. Хотя теперь и играли уже на гармоникахъ, какъ слѣдуетъ, но эту музыку заглушали крики рабочихъ, которые, начиная хмелѣть, уже ругались, задирая на драку. Горюновъ взялъ гармонику и началъ играть. Онъ, какъ прежде, старался привлечь публику своей игрой, но такъ какъ онъ игралъ пѣсни заводскія, то на его игру никто и не обратилъ вниманія. Пришлось возвратить гармонику.

— Што жъ ты насъ не потчуешь!—подошедши къ Горюнову, сказалъ рослый черноволосый рабочій.

— Радъ бы угостить, да не на что.

— А зачѣмъ даромъ служишь?

Къ Горюнову подошло человѣкъ шесть.

— Мы и въ крѣпости состояли, даромъ-то не служили. А ты пришелъ, Богъ знаетъ откуда...

— Ты этимъ нашъ кредитъ подрываешь!

— И намъ не станутъ платить изъ-за тебя,— кричали рабочіе.

— Кто вамъ говоритъ, что я даромъ работаю?—спросилъ Горюновъ.

— Самъ ты говорилъ, что Назарко не далъ тебѣ денегъ.

— Дастъ.

— Не дастъ, помяни меня: онъ не тебя одного надуваетъ.

— А вотъ что: коли храберъ, подемъ съ нами теперь къ нему.

— Нѣтъ, братцы, я теперь не пойду. Идти придется рѣкой.

— Ты насъ за кого считаешь?

Начался крикъ. Горюнова стали бить, но въ это время въ заведеніе вошелъ Ульяновъ съ мужчиной въ полушубкѣ.

— Стой!! Команду слушай! Братцы! Поберегитесь—сила!—кричалъ Ульяновъ навеселѣ.

Рабочіе затихли и подступили къ Ульянову.

— Прощайте, братцы! Прощай, моя служба!

— Съ ума сошелъ, Ульяновъ!—кричали рабочіе.

— Глядите, какъ нализался! Дай-ко, Фаддей, ему косуху!

— Я васъ потчую... Фаддей, полуштофъ!.. Кончен-но!!—И Ульяновъ крѣпко ударилъ рукой о стойку, такъ что посуда на полкахъ задребезжала.

Рабочіе хохотали, ругали Ульянова шутя, и сколько ни допытывались отъ него сути, онъ ничего не сказалъ никому, кромѣ Горюнова, которому сказалъ на ухо, что завтра, чѣмъ свѣтъ, онъ идетъ на пріиски, и если Горюновъ хочетъ, то онъ его приглашаетъ съ собой.

— Послушай, братъ, тулупъ-то у тебя хорошъ, только если пойдемъ, онъ тебѣ будетъ мѣшать. Промѣняемъ,—проговорилъ вошедшій съ Ульяновымъ мужчина Горюнову.

Ульяновъ угощалъ своихъ пріятелей, и поэтому на Горюнова и вошедшаго мужчину не обращали вниманія.

— Ты не безпокойся. Я, братецъ ты мой, подрядилъ Ульянова на пріиски и тебя подряжу. Хоть сейчасъ пять рублей задатку,—говорилъ мужчина.

— Объ этомъ мы потолкуемъ завтра.

— Завтра надо ѣхать... А вотъ тулупъ-то я бы у те взялъ.

— Какъ же безъ тулупа?

— Охъ ты, кайло! Ну, промѣняемся. Пять рублей придачи!

— Десять!

— Шесть!

— Семь!

Горюновъ промѣнялъ свой тулупъ на полушубокъ и получилъ придачи шесть съ полтиной. Немного погодя, Ульяновъ, Горюновъ и мужчина вышли изъ заведенія.

— Ну, други, рѣшено?—спросилъ мужчина по выходѣ изъ заведенія.

— Я плохо што-то понимаю,—сказалъ Горюновъ.

— Узнаемъ все—не покаешься,—сказалъ Ульяновъ.

— Уговоръ такой: никому не говорить, куда мы идемъ, и никого больше не брать, — сказалъ мужчина.

— Ну, такъ завтра мы къ тебѣ придемъ въ заутреню.

— Ладно. Прощайте. Помните! никому не говорить.

И мужчина пошелъ налѣво; Горюновъ съ Ульяновымъ пошли направо.

Дорогой Ульяновъ вполголоса разсказалъ Горюнову, что этотъ человѣкъ кумъ его кумы, Кирпичниковъ, котораго онъ не видалъ годовъ пять и о которомъ не имѣлъ никакого извѣстія. Теперь онъ встрѣтилъ его у кумы и узналъ, что онъ ѣздилъ съ пріисковъ къ одному купцу, которому обязался разыскать какой-нибудь пріискъ, и находится на одномъ пріискѣ довѣреннымъ. Ульяновъ сталъ соболѣзновать о своей жизни, и Кирпичниковъ предложилъ ему работу на пріискѣ съ платою въ мѣсяцъ по пятнадцати рублей и согласился принять даже Горюнова за ту же плату, какъ человѣка грамотнаго, который можетъ ему сводить счеты. Эту плату онъ обѣщалъ дать только на первый разъ. Ульяновъ заикнулся было о семействахъ, своемъ и Горюнова, но Кирпичниковъ сказалъ, что семейство и здѣсь можетъ жить, а что туда идти далеко, и хорошо еще, уживутся ли они тамъ съ бѣглыми.

Дома, ложась спать, они ничего не сказали своимъ семействамъ о предстоящей поѣздкѣ. Но утромъ безъ сцены у Ульянова не обошлось. Ульяновъ пробудился въ четвертомъ часу, всталъ и зажегъ лучину, что удивило Степаниду Власьевну.

— Ну, хозяйка, вставай благословясь. Далеко сегодня пойду.

— Будь ты проклятая хвастуша, — отвѣчала хозяйка и отвернулась къ стѣнѣ.

— Кромѣ шутокъ... На золотые иду.

— Наплевала бы я тебѣ!.. Еще не всю водку-то вылокалъ въ кабакахъ.

Елизаръ Матвѣичъ сталъ собираться не на шутку въ дальній путь. Жена слѣдила за нимъ, сперва прищурившись, но потомъ ее стало брать раздумье: неужели онъ такъ рано идетъ?.. У меня и хлѣба-то для него не напечено.

— Какъ же ты на кордонъ безъ хлѣба идешь?

— Шабашъ! Деревья еще вчера кумѣ продалъ. Баста!.. Ставай, говорю, кромѣ шутокъ.

Жена сѣла и проговорила:

— Да ты чего?

— На золотые иду съ Кирпичниковымъ.

— А онъ развѣ здѣсь?

— Вчера пріѣхалъ къ кумѣ, а сегодня ѣдемъ съ нимъ.

— Да ты въ своемъ ли умѣ-то?

— У тебя што ли стану займовать?

Жена все еще не вѣрила.

— Да ты это въ заболь, али...

— Ну-ну! На вотъ тебѣ десять рублей,—сказалъ Ульяновъ, подавая женѣ деньги, и постучалъ въ стѣнку къ Горюнову.

Оттуда послышался голосъ Терентія Иваныча.— «сейчасъ». Дѣти Ульянова, кромѣ Марьи, тоже пробудились и глядѣли на родителей.

— Ты, тятенька! Какъ же это?... Ничего не сказалъ...—проговорила Лизавета Елизаровна.

— Тятька, я съ тобой!—сказалъ Степанъ.

— Давно я знала, что это твое знакомство съ Машкой до добра не доведетъ... Подлый ты человѣкъ!—проговорила Степанида Власовна.

— Послушай...

— Нечего мнѣ слушать!.. Дѣти на возрастѣ, сами должны имѣть понятіе... Что, небось и Машку съ собой берешь?

— Послушай, жена...

— Убирайся, подлая рожа! Господи! И зачѣмъ я за эдакаго подлеца вышла замужъ?—заплакала жена.

— Маменька...—сказала дочь.

— Кромѣ горя, ничего не было... Ну, чѣмъ я кормиться-то буду? Чѣ-ѣ-мъ?..

— Прокормишься... дѣти прокормятъ...

— Хорошъ отецъ, что семейство бросаетъ... Кормитесь, говоритъ, сами.

— Дура ты, и больше ничего! Прощай, милая дочка!.. Хорошо будетъ, я пріѣду за вами.

— Да ты, тятенька, не шутишь?

— Я, знаешь, не люблю шутить... Береги мать...

— Нечего меня беречь. Меня хорошіе люди накормятъ, а дочь мнѣ не кормилица... Я знаю, что она...

— Маменька! — крикнула дочь въ испугѣ и упала на колѣни передъ матерью.

— Это еще что такое? Что за комедьи?—спросилъ Елизаръ Матвѣичъ въ недоумѣніи.

— Ты бы дочь-то напередъ устроилъ, а то куда мнѣ съ ней, съ...

— А-а!! въ матушку значитъ пошла!

— И батюшка-то хорошъ!..

Елизаръ Матвѣичъ сѣлъ въ большомъ волненіи на лавку. Его лицо выражало и горе, и злость, но онъ старался преодолѣть себя. До сихъ поръ онъ еще не зналъ, что его дочь беременна, что̀ не рѣдкость въ селѣ, на промыслахъ, гдѣ дѣвчонки часто, особенно лѣтомъ, увлекаются молодыми парнями и даже смотрителями и припасными. Ему досадно было, что онъ объ этомъ не узналъ раньше... Но что бы онъ могъ сдѣлать тогда?.. Ему и противны казались въ это время жена и дочь, но ему и жалко было ихъ, жалко было покидать свой домъ, потому что Богъ знаетъ, что можетъ случиться въ его отсутствіе. Жена и дочь плакали, сидя первая на кровати, вторая на печкѣ, куда она спряталась изъ боязни, чтобы отецъ не сдѣлалъ ей что-нибудь худое; Степанъ, сидя на полатяхъ, около лежащаго Никиты, смотрѣлъ то на родителей, то на сестру, думая, что̀ такое сдѣлала сестра; Никита тупо глядѣлъ на всѣхъ, ковыряя пальцемъ въ носу, и готовъ былъ заплакать каждую минуту.

Вдругъ всѣ вздрогнули. Кто-то шелъ на крыльцо, отчего ступеньки скрипѣли.

— Ну!.. Дѣлать нечего. Слово далъ,—нельзя. Собирайтесь.

Въ избу вошли: Горюновъ, Пелагея Прохоровна и два ея брата. Пелагея Прохоровна плакала. Дѣти Ульянова слѣзли съ печи и полатей.

Теперь всѣмъ стало ясно, что Ульяновъ не шутитъ; но ни вошедшіе, ни хозяева ничего не проговорили другъ другу.

— Сядьте,—сказалъ Ульяновъ.

Всѣ сѣли. Женщины заплакали, парни смотрѣли другъ на друга, стараясь не плакать; но эта нѣмая сцена пробрала даже и отцовъ, даже они утерли по разу ладонями свои глаза и, какъ бы устыдившись этого, встали. За ними встали и остальные.

— Ну, хозяйка, прощай! Не поминай меня лихомъ... А ты, мила дочка... Эхъ! Не думалъ я, не думалъ!!. Ну, Степка! Взялъ бы и тебя съ собой, да самъ не знаю еще, хорошо ли тамъ. А вы не баловать у меня, слушаться старшихъ... Эхъ, горе, горе! — говорилъ хозяинъ, цѣлуясь съ женой и дѣтьми, которые рыдали, да и самъ Ульяновъ плакалъ.

— Прощай, Степанида Власовна. Покорно благодарю за ласки... Моихъ-то не обидь. Будьте вмѣстѣ...—говорилъ Терентій Иванычъ, прощаясь съ хозяйкою.

Ульяновъ и Горюновъ вышли: за ними вышли семейства и стояли за воротами до тѣхъ поръ, пока тѣхъ не стало видно въ темнотѣ.

VIII.

Степанида Власовна была оскорблена, Ее бѣсило то, что мысль о золотыхъ пріискахъ подала мужу

*

не она, а, какъ ей думалось, торговка Машка, или Марья Оглоблина, съ которой она подозрѣвала Елизара Матвѣича въ связи. Забравъ себѣ это въ голову, Степанида Власовна въ Оглоблиной уже видѣла непримиримѣйшаго врага своего и старалась всячески нанести ей какую-нибудь обиду и словомъ, и дѣломъ. На первыхъ порахъ она отправилась на кордонъ удостовѣриться въ томъ, дѣйствительно ли ея мужъ продалъ лѣсъ Оглоблиной. Увидала она вотъ что. Передъ входомъ въ шалашъ былъ разведенъ огонь, но, какъ видно, онъ былъ разведенъ давно, потому что дрова уже догорали и легкій дымокъ едва замѣтно развѣвался вѣтромъ въ разныя стороны. Въ шалашѣ она нашла чью-то котомку, худыя рукавицы и кусокъ ржаного хлѣба. Значитъ, здѣсь уже хозяйничали чужіе люди, здѣсь, въ томъ самомъ шалашѣ, въ которомъ ея мужъ жилъ десять лѣтъ, командуя надъ лѣсомъ и сбирая гривны съ порубщиковъ, гдѣ она не одну ночь провела въ продолженіе десяти лѣтъ... Обидно сдѣлалось Степанидѣ Власовнѣ... Она сразу почувствовала, что и воздухъ въ шалашѣ иной, и она точно не вѣсть куда забралась. И слышится ей стукъ топоровъ и ширкання пилъ, чего она во все десятилѣтіе не слыхала около шалаша. Нарушилось спокойствіе лѣса, настало варварское разореніе, и все это по милости Машки Оглоблиной, которую она не дальше, какъ прошлымъ лѣтомъ, въ именины мужа, перваго августа, на полянкѣ между шалашомъ и лѣсомъ угощала пивомъ и пирогомъ съ малиною!..

Вышла она изъ шалаша и стала смотрѣть по сторонамъ. Направо стоятъ двое дровней, на каждыя положено по два длинныхъ бревна; недалеко отъ нихъ крестьянинъ въ рубахѣ обчищаетъ бревно отъ сучковъ, другой въ полушубкѣ такъ и хлещетъ топоромъ въ дерево, которое только какъ будто вздрагиваетъ немного; третій уже наклалъ цѣлый возъ долготья и все еще накладываетъ, ругая мальчугана за то, что онъ еле-еле шевелится; налѣво стоятъ трое дровней и около нихъ тоже идетъ потѣха... А на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ третьемъ годѣ Степанида Власовна нашла много рыжиковъ, двое—повидимому мастеровыхъ—пилятъ за разъ двѣ березы...

— Мошенники! Варвары!! Кто вамъ дозволилъ хозяйничать здѣсь? — прокричала, не помня себя отъ злости и обиды, Степанида Власовна и подбѣжала къ пильщикамъ.

Тѣ поглядѣли на нее, захохотали и ничего не сказали, продолжая свою работу.

— Откуда эта явилась?—проговорилъ крестьянинъ, увязывающій возъ съ долготьемъ.

— Да кто вамъ позволялъ, говорю, лѣсъ рубить?—кричала Ульянова.

Порубщики захохотали и начали отпускать на ея счетъ насмѣшки и сарказмы.

— Да ты-то кто такая? — спросилъ ее одинъ изъ порубщиковъ.

— Не узнали?! Теперь и знать не хотите, а прежде боялись.

— Глядите, баба чья-то съ цѣпи сорвалась!

— Связать ее надо—искусаетъ.

Степанида Власовна разъярилась, но скоро замѣтила, что, чѣмъ больше она ругается, тѣмъ больше смѣшитъ порубщиковъ, которые нарочно еще старались разозлить ее. Но двое порубщиковъ знали ее, и ихъ очень удивляло присутствіе здѣсь жены Ульянова.

— Послушай! Тебѣ чего здѣсь надо?—спросилъ ее серьезно порубщикъ, подошедши къ ней съ угрожающимъ видомъ.

— А то и надо, што я не дозволю рубить лѣсъ, не дозволю!!—кричала Степанида Власовна.

— Хо-хо! Видно, нонѣ бабъ стали придѣлять въ полѣсовщики? А есть ли у те форма?—начали острить надъ Ульяновой порубщики.

Степанида Власовна совсѣмъ растерялась. Она не знала, что ей еще сказать порубщикамъ; она даже забыла, зачѣмъ она пришла сюда.

— Хорошо! Я не я буду, что не пожалуюсь на васъ! —сказала она и пошла домой.

— Свяжите ее, ребята!

— Пожалуй, чтобы худа не было въ самъ-дѣлѣ?

— Стоитъ съ бабой связываться! Не видите что ли, што она полоумная. И безъ насъ околѣетъ дорогой.

— Ну, нѣтъ. По-моему надо допросить ее. Эй, тетка, иди-ко сюда!

Степанида Власовна, ускорившая шаги отъ первыхъ словъ порубщиковъ, теперь остановилась.

— Иди, говорятъ, сюда. Можетъ ись хошь?

Степанида Власовна, успокоившись, что порубщики ей ничѣмъ не угрожаютъ, подошла къ нимъ.

— Послушай, тетка, ты зачѣмъ пришла сюда?

— Я къ мужу пришла на кордонъ...

— Ай, врешь! Твоего мужа, коли онъ Ульяновъ, ужъ нѣтъ теперь, и тебѣ это должно быть извѣстно.

— Связать ее да зашибить!..

— А вотъ я зачѣмъ пришла... Правда ли, што Ульяновъ продалъ лѣсъ Машкѣ Оглоблиной?

— Мы почемъ знаемъ... А тебѣ что изъ эвтого?

— А то и дѣло, что Оглоблина похваляется этимъ передо мной.

— Ну, значитъ, ты дура, что вѣришь этому.

Порубщики поѣхали, кто направо, кто налѣво. Степанида Власовна пошла за возомъ съ дровами и всячески старалась выпытать отъ порубщика, дѣйствительно ли Ульяновъ продалъ лѣсъ Оглоблиной,—но тотъ отмалчивался.

Пришла она въ село, разсказала Пелагеѣ Прохоровнѣ о видѣнномъ и заплакала.

— Нѣтъ, говорила она, я не попущусь! Я пойду къ лѣсничему!

— Чтобы худо не было, мамонька,—сказала дочь.

Однако Степанида Власовна пошла къ лѣсничему и сказала, что ея мужъ неизвѣстно куда скрылся. Пришла она на кордонъ и видитъ, мужики рубятъ лѣсъ безъ разбора. Спросила она о мужѣ, тѣ сказали: «спроси, говорятъ, у торговки Марьи Оглоблиной. Теперь, говорятъ, уже не Ульяновъ караульщикъ, а Машка Оглоблина; она намъ и лѣсъ продала».

Лѣсничій плохо понялъ жалобу Ульяновой и черезъ недѣлю поѣхалъ осматривать лѣсъ.. Потребовалъ Ульянова, Ульянова не оказалось, а въ дистанціи его много оказалось порублено лѣсу. Притянули къ суду жену; Степанида Власовна повторила свою жалобу. Потянули и Оглоблину, но та отперлась не только отъ того, что давала деньги Ульянову за лѣсъ, но и отъ всякаго знакомства съ нимъ. Она говорила:

— Ходить, можетъ быть, онъ ходилъ ко мнѣ за калачами, потому ко мнѣ много ходятъ. А что если его жена приплела меня въ это дѣло, кумовства ради, такъ по одной злобѣ и потому, что-де легче на куму свалить всю бѣду... А имѣла ли я право покупать и продавать лѣсъ, такъ это въ ея безмозглую голову могла зайти такая дурь.

Завязалось дѣло: было спрошено множество разныхъ крестьянъ и мастеровыхъ, но остался по дѣлу виноватъ одинъ Ульяновъ, а такъ какъ его въ селѣ не было, то у него и описали домъ и все его имущество, и стали гнать изъ дома его жену и жильцовъ. Скоро нашелся и покупатель. Купивъ домъ, онъ пустилъ за деньги на квартиру Ульяновыхъ съ Мокроносовой и Горюновыми. Все это обдѣлалось въ два мѣсяца послѣ отсутствія Елизара Матвѣича, и всѣ въ селѣ говорили, что о продажѣ дома Ульянова особенно хлопотала вдова Оглоблина за то, что Степанида Власовна не хотѣла покориться ей, не хотѣла извиниться передъ нею за нанесенныя ею Оглоблиной оскорбленія.

Можно себѣ представить гнѣвъ госпожи Ульяновой, когда она вскорѣ по въѣздѣ въ ея домъ новаго хозяина узнала, что Оглоблина исчезла изъ села. Ульянова нарочно сходила въ ту улицу, гдѣ жила Оглоблина, и увидала, что въ ея домъ въѣзжаетъ ея племянникъ изъ Демьяновскаго селенія.

— Хоть бы узнать мнѣ, куда мой мужъ спроваженъ! Ужъ я пошла бы туда.

Теперь Степанида Власовна казалась помѣшанною не на шутку: она цѣлый день съ утра и до вечера бродила то на промыслахъ, то на рынкѣ и все выспрашивала: неидетъ ли кто на золотые?

IX.

Со времени отъѣзда Ульянова и Горюнова, Пелагея Прохоровна съ каждымъ днемъ все больше и больше сближалась съ Лизаветой Елизаровной. Пока еще былъ здѣсь дядя, она могла гордиться имъ, человѣкомъ, попавшимъ въ уставщики, значитъ имѣющимъ кое-какое значеніе на промыслахъ; но теперь, когда дядя исчезъ, она очутилась совершенно одна съ братьями. Но что ей братья? Братья хотятъ жить сами для себя, и отъ нихъ не жди помощи. Вонъ даже, когда дядя подарилъ ей пять рублей, Григорій сталъ укорять ее въ томъ, что ее больше любятъ и деньги слѣдовало бы дать не ей, а имъ. Чтобы отвязаться отъ братьевъ, она отдала эти деньги Григорью, который ей за это и спасибо не сказалъ. Отдала она деньги и стала горевать, ругая себя глупою. «Вѣдь мнѣ съ этими деньгами можно бы было дойти до города!» думала она на первыхъ порахъ. Но какъ она пойдетъ въ городъ одна, не зная дороги? Еще нападутъ на нее, ограбятъ и Богъ знаетъ, что сдѣлаютъ съ ней. Другое дѣло, если бы она была пожилая женщина. Но и не это еще удерживало ее въ селѣ: она дожидалась извѣстія отъ Короваева. Уйди она изъ села—и не узнаетъ ничего о Короваевѣ, о которомъ она думала теперь больше прежняго, зная, что онъ любитъ ее и не хочетъ жениться на ней зря.

Сознавая, что она здѣсь чужая, она рада была поговорить съ кѣмъ-нибудь отъ души. Но говорить было не съ кѣмъ, кромѣ Лизаветы Елизаровны. Лизавета Елизаровна тоже рада была своей сосѣдкѣ и старалась раскрыть передъ ней свои тайны, надѣясь на то, что она ее не выдастъ, потому что Пелагея Прохоровна не ищетъ знакомства съ другими женщинами и вообще женщина молчаливая. И онѣ скоро сошлись, понравились другъ другу и стали пріятельницами. Хотя Пелагея Прохоровна и много страннаго находила въ поведеніи своей подруги, но приходила къ тому заключенію, что здѣшняя жизнь не похожа на заводскую въ томъ отношеніи, что тамъ дѣвушки до выхода замужъ большею частью живутъ дома, и если знакомятся съ парнями, то въ церкви, на гуляньяхъ и на вечеркахъ, — здѣсь же онѣ рано сталкиваются съ мужчинами и парнями на промыслахъ. По промысловымъ понятіямъ ничего не было страннаго въ томъ, если пары заходили слишкомъ далеко и дѣвушка дѣлалась беременною, потому что скоро послѣ беременности она выходила замужъ. Но Лизавета Елизаровна не говорила о своей беременности. Однако же Пелагея Прохоровна стала замѣчать, что Лизавета Елизаровна дуется на одного парня, который любезничаетъ съ черноволосой невысокой дѣвицей и носитъ за нее соль, и при этомъ парнѣ старается оказывать большія ласки Григорію Прохорычу, который отъ парня получаетъ насмѣшки и угрозы. Ясно казалось Пелагеѣ Прохоровнѣ, что или парень разобидѣлъ чѣмъ-нибудь Лизавету Елизаровну, или Лизавета Елизаровна разобидѣла парня. Пелагеѣ Прохоровнѣ со свойственной женщинамъ любознательностью хотѣлось разспросить свою подругу объ этомъ, но было неловко начинать прямо, и она только намекала на парня, но та или сердилась, или отмалчивалась.

Дѣло въ томъ, что Лизавета Елизаровна была гордая дѣвушка. Она требовала, чтобы тотъ, который любитъ ее, исполнялъ малѣйшіе ея капризы: напр. уронитъ она съ лѣстницы платокъ, Ванька Зубаревъ долженъ сходить за нимъ; нужны ей къ празднику сережки—Ванька Зубаревъ долженъ купить ихъ, хотя бы и въ десять копѣекъ. Ванька Зубаревъ хороводился съ ней полтора года и цѣлый годъ угождалъ ей безпрекословно. Сперва конечно поломается, поогрызнется, но все-таки исполнитъ приказъ Лизаветы Елизаровны. Никто такъ не могъ угодить Лизаветѣ Елизаровнѣ, какъ онъ, и зато какъ было хорошо и весело съ нимъ, особенно лѣтомъ! Хотя Зубаревы и жили въ Демьяновѣ, только Иванъ Демьянычъ работалъ на моргуновскихъ промыслахъ, потому что на нихъ было

больше требованія на рабочихъ и плату давали больше на цѣлыхъ десять копеекъ противъ притыкинскихъ промысловъ. У него была своя лодка, въ которой онъ каждый лѣтній день переплывалъ два раза рѣчку Улью и въ которой послѣ работы каталъ и Лизавету Елизаровну. Очень любилъ Зубаревъ Лизу Ульянову, и та любила его, какъ только можетъ любить шестнадцатилѣтняя промысловая дѣвушка, дочь бѣдныхъ родителей. Бывало, сидятъ они ночью въ лодкѣ обнявшись, а лодка плыветъ какъ попало по теченію, и далеко такъ уплывутъ они; случалось ворочаться имъ домой верстъ изъ-за пятнадцати, и тогда Зубаревъ или пластался на веслахъ, или шелъ бичевой, а Лизавета Елизаровна правила на кормѣ весломъ, подсмѣиваясь надъ возлюбленнымъ. Случалось возвращаться имъ и въ грозу, и тогда Лизавета Елизаровна, сидя на берегу съ Зубаревымъ подъ опрокинутой лодкой, отъ страха молила всѣхъ угодниковъ, каялась въ грѣхахъ, и клялась, что она въ послѣдній разъ плаваетъ съ Зубаревымъ. На промыслахъ, само собою разумѣется, всѣ знали про связь Лизаветы Елизаровны съ Иваномъ Зубаревымъ и не обращали вниманія на нихъ, потому что у каждаго или у каждой были любовницы или любовники; мать тоже знала, что Зубаревъ ухаживаетъ за ея дочерью и, думая по себѣ, что онъ на ней женится, не очень бранила ее за позднія возвращенія домой; отецъ же, живя на кордонѣ, конечно ничего не зналъ, а если и замѣчалъ отсутствіе дочери, то удовлетворялся какимъ-нибудь отвѣтомъ своей жены. Все шло хорошо около года, а потомъ Лизавета Елизаровна стала замѣчать, что Иванъ Зубаревъ сталъ холоднѣе съ ней, меньше исполнялъ ея прихоти и капризы. И случилось это съ нимъ съ тѣхъ поръ, какъ они были въ чащѣ лѣса, гдѣ провели всю ночь съ полнымъ удовольствіемъ. Правда, послѣ этого Лизавета Елизаровна сильно привязалась къ Ивану Зубареву и въ первое время изъ гордой дѣвушки сдѣлалась до того кроткой, что дозволяла прикрикивать на нее Зубареву, исполняла его приказанія, но потомъ замѣтила, что Зубаревъ не только взялъ надъ ней верхъ, но и обращеніе его съ нею стало уже не то: точно она ему надоѣла. И вотъ стала она замѣчать, что Зубаревъ рѣже показывается на промыслахъ, а если и придетъ, такъ дожидается, чтобы она его изъ милости попросила поносить соль. Наконецъ онъ ее весьма оскорбилъ; снесъ два мѣшка соли и ушелъ, а немного погодя сталъ носить соль за другую дѣвицу.

У Лизаветы Елизаровны, какъ она увидала это, чуть мѣшокъ съ солью не свалился съ плечъ, и она сама не помнитъ, какъ она доносила до вечера соль, получила разсчетъ и пришла домой раньше обыкновеннаго, такъ какъ мать ея, не носившая въ этотъ день соли по нездоровью, удивилась и спросила:

— Алн Зубаревъ не былъ?

Но Лизавета Елизаровна ничего не сказала. Она никакъ не могла понять поведенія Ивана Зубарева. Этотъ человѣкъ такъ любилъ ее, такъ много обѣщалъ ей впереди хорошаго, обѣщался послѣ Рождества жениться на ней, а какъ прошелъ Екатерининъ день, вдругъ выкидываетъ съ нею такую штуку. Это что-нибудь да значитъ. Хотѣлось ей переговорить съ Зубаревымъ, но онъ цѣлую недѣлю не являлся на промыслы, а на другой недѣлѣ на всѣхъ промыслахъ не было работы для женщинъ. На третьей недѣлѣ объ этомъ парнѣ замѣтила Лизаветѣ Елизаровнѣ Пелагея Прохоровна. Тогда Лизавета Елизаровна думала, что Зубаревъ подойдетъ къ ней, возьметъ ея мѣшокъ, но онъ какъ будто самъ хотѣлъ, чтобы Лизавета Елизаровна поклонилась ему. Когда Григорій Прохорычъ понесъ за нее соль, хотѣлось Лизаветѣ Елизаровнѣ поговорить съ нимъ, высказать ему, что она беременна,—но не время было, а вызвать Зубарева въ другое мѣсто во время рабочее неприлично, потому что такихъ примѣровъ еще не бывало на промыслахъ.

Григорій Прохорычъ видалъ дѣвушекъ и покрасивѣе Лизаветы Елизаровны. Онъ уже два раза былъ влюбленъ и въ послѣдній разъ даже хотѣлъ жениться на любовницѣ приказчика, у котораго онъ былъ лакеемъ; но вмѣсто женитьбы угодилъ въ острогъ по обвиненію его въ кражѣ вещей, а его невѣста задавилась не отъ любви къ нему, а не желая болѣе переносить каторжную жизнь. Острогъ его не испортилъ,—такъ какъ онъ изъ него скоро былъ выпущенъ по просьбѣ приказчика, имѣвшаго обыкновеніе прощать всѣхъ своихъ враговъ въ свои именины,—но научилъ смотрѣть на жизнь болѣе практически, чѣмъ прежде. Еще бывши въ острогѣ, онъ поклялся не увлекаться дѣвками, не слушать ихнихъ любезностей; но, встрѣтившись съ Лизаветой Елизаровной, онъ не могъ устоять. Она съ перваго же дня огорошила его, задѣвъ его самолюбіе пустякомъ—неумѣньемъ расколоть сучковатое полѣно. Столкнувшись на промыслахъ съ женщинами, онъ, какъ молодой человѣкъ, не могъ не вглядываться въ нихъ и не вслушиваться въ ихъ слова. Какъ онъ ни крѣпился, какъ ни заключалъ по-своему, что всѣ эти бабы и дѣвки отчаянныя, но кровь въ немъ волновалась, и ему нравилось употреблять въ дѣло щипки. Не зная никакихъ отношеній между дѣвицею Ульяновою и парнемъ, погрозившимся обломать ему ноги, онъ думалъ, что Лизавета Елизаровна легко ему достанется. Но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ. Еще въ воскресенье, передъ отъѣздомъ дяди, онъ очень разыгрался съ Лизаветой Елизаровной, и когда она вышла зачѣмъ-то въ сѣни, то догналъ ее, обнялъ, но получилъ за это такую пощечину, что ему долго было совѣстно показаться на глаза передъ Лизаветой Елизаровной, да и она сама, завидя его во дворѣ, отворачивалась отъ него и уходила скорѣе домой.

Наступило Рождество—и прошло весьма скучно въ обоихъ семействахъ. Лизавета Елизаровна очень рѣдко захаживала къ Горюновымъ, и то въ такое время, когда Григорья Прохорыча не было дома, а Пелагея Прохоровна, узнавшая, что братъ ея сдѣлалъ глупость, и не настаивала на томъ, чтобы она ходила при братѣ. Прошли и святки скучно. Прежде, бывало, у Ульяновыхъ передъ Крещеньемъ всегда вечерка устраивается, а нынче нѣтъ. Прежде отбоя нѣтъ отъ дѣвицъ: «приходи, ради Христа, на

вечерку», — нынче только развѣ на улицѣ попадется Лизаветѣ Елизаровнѣ дѣвушка и спроситъ: «а что это ты не была на вечеркѣ?» И тутъ же прибавляла: «а Ваньку Зубаревскаго не видала?» Братья впрочемъ ходили на вечерки, ходилъ и плясалъ на вечеркахъ и Григорій Прохорычъ, только къ нему не благоволила ни одна дѣвица, такъ какъ у каждой былъ свой кавалеръ, и каждый изъ этихъ кавалеровъ старался разругать дѣвицу Ульянову для того, чтобы выжить изъ компаніи Гришку Горюнова, какъ пришлеца. Невесело было Григорью Прохорычу на этихъ вечеркахъ, чужой онъ былъ на нихъ, непріятно ему было слышать, какъ конфузятъ и обзываютъ дѣвицу Ульянову, говоря даже про нее, что потому-де у нихъ въ домѣ, въ *придѣлѣ* (въ новой половинѣ, гдѣ жилъ Григорій Прохорычъ), нѣтъ вечерки, что Лиза брюхата и любовникъ ее бросилъ, такъ какъ она горда не кстати и съ порокомъ; но обо всемъ слышанномъ тамъ онъ ничего не говорилъ сестрѣ.

Въ крещенскій сочельникъ обѣ женщины гадали въ новой половинѣ. Пришелъ Григорій Прохорычъ; гаданье прекратили..

— Погадайте на меня,—сказалъ онъ, подойдя къ гадальщицамъ.

— Не стоишь, — сказала Лизавета Елизаровна.

— Тебя что ли просятъ! Пелагеюшка, погадай!

— Какой ты сегодня ласковый сдѣлался!.. Гадай самъ,—сказала Пелагея Прохоровна, отдавая поварешку брату, и обратилась къ Лизаветѣ Елизаровнѣ:—пойдемъ къ тебѣ.

— И я съ вами.

— Очень нужно!—сказала Лизавета Елизаровна.

— Важна ужъ что-то больно стала не кстати!.. Послушала бы ты, что говорятъ-то про тебя!

— Ну, да что? Языкъ-то вѣдь безъ костей.

Подруги пошли къ двери.

— Что мнѣ, околѣвать что ли здѣсь?

Подруги захохотали и ушли.

Григорій Прохорычъ бросилъ поварешку подъ лавку, потушилъ лучину и легъ на печь. Брата дома не было: онъ съ Степаномъ Ульяновымъ еще не приходилъ изъ села. Спать ему не хотѣлось, и онъ сталъ думать, можетъ быть въ тысячный разъ, о томъ, какъ бы ему хорошо было найти гдѣ-нибудь кладъ и потомъ жениться... жениться на Лизкѣ. Чѣмъ больше думалъ онъ о дѣвицѣ Ульяновой, тѣмъ больше она ему нравилась. Нравилась ему въ ней ея гордость, ея рѣчи, трудъ, и онъ ставилъ ее выше первыхъ двухъ своихъ любовницъ, изъ которыхъ первая ничего не умѣла дѣлать, а только хныкала; вторая, живя у приказчика, сдѣлалась барышней и едва ли бы перенесла съ нимъ тяжелую жизнь. А на Лизѣ жениться хорошо: она будетъ работать и онъ тоже, да и дома строить не нужно. Тутъ мысли его приняли другой оборотъ: онъ находилъ себя ничтожнымъ человѣкомъ въ сравненіи съ Лизаветой Елизаровной; халатишко у него худой, починить его нечѣмъ, да и не стоитъ: станетъ затягивать нитку — такъ рвется; полушубка нѣтъ, сапоги оборвались, подошвы на нихъ отпадаютъ, а новые купить не на что, потому что сестрины деньги онъ издержалъ по пустякамъ. — «Вотъ сегодня у одного сапожника я укралъ шило и дратву выпросилъ, завтра надо будетъ починить какъ-нибудь. Опять кожи нѣтъ. Кабы было лѣто, можно бы гдѣ-нибудь найти въ грязи или въ назьму кусокъ кожи...»

Вдругъ онъ услышалъ стукъ въ стѣнѣ отъ Ульяновыхъ. Сталъ слушать. Еще застучали и, кажется, сестра произнесла его имя.

— Не пойду! Самъ хотѣлъ—обругали, а теперь не пойду. Не смѣйся, горохъ, не лучше бобовъ! — проговорилъ про себя Григорій Прохорычъ.

Его такъ и порывало идти къ Ульяновымъ, но и не хотѣлось ему уступить. «Брюхо толще, такъ губа тоньше», сказалъ самъ себѣ Григорій Прохорычъ и рѣшилъ не идти, хотя бы онѣ тамъ всѣ кулаки о стѣну отбили. Однако онъ не утерпѣлъ, слѣзъ съ печки и, подошедши къ стѣнѣ, наставилъ лѣвое ухо, чтобы услыхать оттуда что-нибудь; но стѣна была бревенчатая — онъ слышалъ, что кто-то говорилъ и вдругъ захохотали, сперва Ульянова дѣвица, потомъ его сестра.

— Это онѣ надо мной смѣются.

Опять смѣхъ.

— А чортъ съ ними!!. Нечего мнѣ тамъ дѣлать...

И Григорій Прохорычъ легъ на печь. Но лежать было скучно, хотѣлось идти; онъ злился на себя, и на Лизавету Елизаровну, и на сестру. Пришла сестра.

— Ты что же не пришелъ?—спросила она брата.

— Очень нужно.

— Ну, брюхо толще, такъ губа тоньше.

— Послушай, Пелагея, что это она надо мной издѣвается?

— Кто?

— Кто?! Лизка!

— Да и какъ не смѣяться надъ дуракомъ. Зачѣмъ ты ее въ сѣняхъ-то обхватилъ?

Григорій Прохорычъ замолчалъ. Теперь ему стало понятно, что сестра его стала пріятельницей Лизаветы Прохоровны.

— А что, Пелагея, какъ ты думаешь, пойдетъ она за меня? — спросилъ вдругъ братъ сестру, когда та уже стала засыпать.

— Выдумывай.

— Нѣтъ, въ самъ-дѣлѣ!

— Спи-ко лучше. Скоро утро.

Легли спать. Пелагея Прохоровна заснула скоро, но Григорій Прохорычъ не могъ заснуть. Утромъ братъ и сестра молчали: братъ стыдился сестры, сестра что-то обдумывала. Григорій Прохорычъ усѣлся за сапогъ около окна, повертѣлъ его: починить безъ кожи нельзя—какъ ни верти, а нужна заплата.

— Поговоришь? — сказалъ вдругъ дрожащимъ голосомъ братъ сестрѣ. Щеки его покраснѣли.

— И что ты это выдумалъ, братъ. Какая она тебѣ ровня?

— А тебѣ что за ровня?

— Я другое дѣло... Говори самъ... Это твое дѣло.

— Какъ я буду говорить, коли она такая фря...

Послѣ обѣда Пелагея Прохоровна зазвала къ себѣ Лизавету Елизаровну. Лизаветѣ Елизаровнѣ вѣроятно уже было извѣстно о намѣреніи Григорія Прохоровича, потому что она поклонилась ему неловко, щеки покраснѣли болѣе обыкновеннаго и голосъ

ея былъ неровный. Стали играть въ карты. Всѣ молчали. Каждый хотѣлъ что-то начать, но что-то удерживало. Наконецъ первая начала Лизавета Елизаровна.

— Какіе нынче женихи-то молчаливые...—проговорила она, сдавая карты, какъ бы про себя.

Григорій Прохорычъ покраснѣлъ, какъ ракъ, и не зналъ, что ему дѣлать: сидѣть или бѣжать?

Минутъ пять никто не промолвилъ слова.

— Женишокъ! Что же ты молчишь?—сказала вдругъ Лизавета Елизаровна.

— Я...—сказалъ Григорій Прохорычъ, вздрогнувъ.

Обѣ женщины захохотали.

— Хорошъ же ты будешь муженекъ, нечего сказать... Однако, Григорій Прохорычъ, позвольте васъ спросить: какіе вы имѣете на меня виды?—сказала уже серьезно Лизавета Елизаровна.

— Лизавета Елизаровна...

— Убирайся!..

И Лизавета Елизаровна, бросивъ карты, ушла отъ Пелагеи Прохоровны.

— Поди къ ней, пока матери нѣтъ дома,—сказала сестра брату.

Братъ послушался сестры. Когда онъ пришелъ къ Ульяновымъ, Лизавета Елизаровна, сидя у пялецъ, плакала и, казалось, не замѣтила вошедшаго Горюнова, который остановился въ дверяхъ и не смѣлъ тронуться дальше.

— Лиза!—сказалъ онъ.

Лизавета Елизаровна вздрогнула.

— Зачѣмъ ты пришелъ?—крикнула она.

— Лизавета Елизаровна!.. Я люблю тебя.

Лизавета Елизаровна захохотала.

Григорій Прохорыча подошелъ къ ней, обнялъ ее и поцѣловалъ. Она не сопротивлялась, но плакала.

— Голубчикъ Гриша!.. Ты мнѣ нравишься... Но...

— Лизанька!...—говорилъ Горюновъ, прижимая Лизавету Елизаровну.

— Гриша!.. Я не хочу тебя обманывать...—говорила, рыдая, Лизавета Елизаровна.

— У! Дура! Ее цѣлуютъ, а она плачетъ! Лиза, не смѣй плакать!—говорилъ шутя Григорій Прохорычъ, утирая слезы съ глазъ и щекъ Лизаветы Елизаровны.

Лизавета Елизаровна боролась сама съ собой, наконецъ встала и сказала:

— Подумалъ ли ты о томъ, что про меня говорятъ на промыслахъ и на вечеркахъ?

— Что?

— Ты вѣришь тому, что говорятъ про меня?

— Нѣтъ.

— Такъ я тебѣ скажу: что про меня говорятъ—вѣрно... Я говорю тебѣ потому, что бы ты зналъ и послѣ не каялся, что я обманула тебя... Одна голова не бѣдна! Я себя съ ребенкомъ прокормлю какъ-нибудь, зато меня никто не укоритъ.

Григорій Прохорычъ стоялъ, какъ оплеванный. Онъ не зналъ, шутитъ съ нимъ Лизавета Елизаровна или говоритъ правду.

— Али ты не вѣришь моимъ словамъ? Поди спроси свою-то сестру, мнѣ отъ нея нечего таить, да и тебя я не боюсь. Подумай-ко лучше о томъ, хорошо ли жениться на дѣвушкѣ съ накладомъ?.. Хорошо ли получить въ приданое ребенка?

Григорій Прохорычъ стоялъ пораженный, не зная, что сказать. Лизавета Елизаровна сѣла за пяльцы, нагнулась и закрыла лицо руками. Съ четверть часа она сидѣла въ такомъ положеніи, и когда открыла лицо, то увидѣла, что Григорій Прохорычъ все еще стоялъ, разглядывая свою фуражку.

— Не вѣришь?—спросила Лизавета Елизаровна.

— Обманула ты меня... Тяжко ты меня обманула!—сказалъ онъ со вздохомъ.

— Я тебя не завлекала; ты добровольно носилъ за меня соль.

Григорій Прохорычъ вышелъ. Пришедши домой, онъ швырнулъ въ уголъ фуражку и сказалъ сестрѣ:

— И тебѣ не стыдно!.. Будто я пятилѣтній ребенокъ, чтобы меня такъ дурачить. Свиньи!

— Что, вѣрно губа-то не дура!

— Молчи! Убью!!!

— Дуракъ!.. Только вы мужчины и хороши. Припомни-ко, не лебезилъ ли ты около Горбуновой...

— У-у! Змѣя-я!..—проговорилъ со злостью Григорій Прохорычъ и, отыскавъ фуражку, вышелъ изъ избы.

X.

Григорія Прохорыча ужасно разобидѣло то обстоятельство, что онъ влюбился въ такую дѣвушку, которая уже беременна. «Двухъ дѣвокъ я любилъ, а такой штуки со мной не случалось... Хорошо еще, что она сама сказала»,—думалъ онъ. Онъ теперь цѣлыя сутки терся на промыслахъ и терпѣливо сносилъ насмѣшки молодыхъ рабочихъ, которые смѣялись надъ тѣмъ, что пришлецъ Гришка Горюновъ хочетъ жениться на бывшей любовницѣ Васьки Зубарева, и когда ужъ его выводили изъ терпѣнія, онъ кричалъ, что они напрасно чешутъ языки, потому что онъ не дуракъ и даже не живетъ въ Ульяновскомъ домѣ. Рабочіе, видя, что Горюновъ живетъ безвыходно на промыслахъ, даже на рынокъ не ходитъ, а покупаетъ хлѣбъ у торговокъ, приносящихъ хлѣбъ на промысла, удивлялись его терпѣнію и въ то же время говорили, что Горюнова вѣроятно отщелкала Лизка Ульянова. Словомъ, Горюнову казалось, что рабочіе всячески старались разбѣсить его. Все шло въ такомъ порядкѣ цѣлую недѣлю до тѣхъ поръ, пока не открылось на варницахъ соленошеніе. Къ этому времени рѣдкій холостой рабочій не зналъ о порокѣ Лизаветы Ульяновой, а знали всѣ объ этомъ отъ Марьи Оглоблиной.

Явились на промысла женщины, по обыкновенію явились и мужчины, для того чтобы или пошалить, или самимъ попасть въ работу съ женщинами. Всѣ голосили о семействѣ Ульяновыхъ, и теперь было меньше спора о томъ, чтобы мужчины не работали съ женщинами, потому что каждой хотѣлось узнать дѣло во всей подробности и выслушать мнѣніе мужчинъ и затѣмъ поругать мужчинъ за нанесенное женскому полу оскорбленіе.

Говоры шли разные по этому дѣлу.

— Я давно замѣчала, што Лиза беременна, да молчала,—потому не мое дѣло.

— Потому, молъ, сама беременна...

— Сука, дакъ сука и есть!..

— Не правду что ли говорю! Скрывать-то, матушка, нечего. Ты знаешь пословицу: отецъ да мать не знаютъ, а весь міръ знаетъ. Вотъ что! А вотъ это надо разсудить, что Лизка теперь?

— Не видать ее. Поди не явится.

— Стыдно.

— Ну, она не такая!

— Слышала? заводской Гришка за нее сватался!

— Слышала, да что-то онъ, говорятъ, все здѣсь живетъ. Должно быть, какъ узналъ, въ чемъ дѣло, то и на попятный.

— Смотрите, бабы и дѣвки: заводскаго Гришку Горюнова въ компанью не принимать.

— Тебѣ не надо, не примай.

— Отсохъ бы у те языкъ-то. Говорятъ, Гришка этотъ Зубаревскому примѣру послѣдовалъ!

— Сама первая, смотри, не бросься ему на шею.

— Слава Богу, еще въ разсудкѣ.

— Васъ слушать надо, уши зажавши. Правду говоритъ пословица: «двѣ бабы—рынокъ, а три—такъ ярмонка».

— Извѣстно: «много голку, да мало толку!»

— Не суй перста въ ротъ, пожалуй откусишь. А вы вотъ што скажите, умныя головы: дѣло ли это—обмануть дѣвку?

— Что жъ такое? Мы примѣръ съ баръ беремъ. Коли баре обманываютъ, намъ и подавно можно.

— Не слушайте его, дурака. Отъ него никогда не дождешься добраго слова.

— Зачѣмъ не дождаться. Кричать-то не для чего: извѣстно, немного попѣто, да на вѣкъ надѣто.

— Хорошо. Теперь ты скажи: не обидно ли дѣвкѣ, если ее обманываютъ?

— А какъ же мужья-то умираютъ?

— Что съ дуракомъ и говорить!.. Оселъ, такъ оселъ и есть. Ты бы то подумалъ: что бы ты сказалъ, если бы твоя дочь родила?

— Я бы ее въ зашей.

— То-то и есть, чужое страхомъ огорожено, въ чужихъ рукахъ ломоть великъ... Охъ, вы! Ну, не мужское ли это дѣло пристать за бабъ? Вѣдь вы съ начальствомъ-то хороводитесь, а не бабы.

— Поди сунься, такъ двадцать пять и запроситъ.

Пришла Лизавета Елизаровна съ Пелагеей Прохоровной. Всѣ, какъ увидали ее, смолкли.

— Что-то не видать тебя давно, Елизаровна? Съ новой подругой спозналась, насъ и знать не хочешь? Али замужъ скоро выходишь?—кричали ближнія женщины.

— Это ужъ мое дѣло! Лучше дома сидѣть, чѣмъ слушать выкомуры.

— То-то женишка-то новаго и подсылала подслушивать...

— Какого женишка?

— А Гришку-то.

— Съ чего вы взяли, что онъ онъ мнѣ женихъ? И не стыдно вамъ говорить-то!.. По себѣ, видно, судите...

— Хотѣла, видно, обмануть молодца, да не на таковскаго напала.

— Хоть бы не ты говорила, Офимья!.. Не тебя ли стыдили въ прошломъ году!.. Я молчу. И какое вамъ дѣло, бабы, до меня? Экая важность, что я беременна. Будто ужъ дѣвкѣ и родить нельзя! Будто и за вами нѣтъ грѣховъ... Я знаю, что дѣлаю.

— Безстыдница, такъ безстыдница и есть! Ты бы мужчинъ-то постыдилась.

— Нечего мнѣ ихъ бояться. Одинъ изъ нихъ хотѣлъ же на мнѣ жениться, не дальше, какъ въ Крещенье въ ногахъ у меня валялся, а какъ я сказала ему, что я... ну, онъ и драло.

Женщины молчали.

— Это не заводской ли Гришка? — спросилъ мужчина.

— Ну, хоть бы и онъ, такъ вамъ-то что?

— Славно онъ нарѣзался.

Женщины вооружились противъ мужчинъ; мужчины доказывали, что никому не охота жениться на беременной, и стояли больше за свою братью. Но теперь всѣ были вооружены противъ Ивана Зубарева, всѣ грозились, какъ только онъ покажется на промыслахъ, свернуть ему голову; но Лизавета Елизаровна упросила не дѣлать ему никакого вреда, потому что не стоитъ изъ-за него быть въ отвѣтѣ, а лучше сказать ему, чтобы онъ не смѣлъ больше показываться на промыслахъ; приневоливать же его жениться на ней не надо, потому что онъ ей теперь противенъ.

Тѣмъ разговоры и кончились. Начали носить соль, и объ утреннемъ разговорѣ никто не заводилъ рѣчи, даже не говорили и о томъ, что Горюновъ при входѣ женщинъ въ варницу ушелъ, не поклонившись ни сестрѣ, ни Лизаветѣ Елизаровнѣ. Хотя сестра и спросила Панфила, куда ушелъ братъ, но онъ ничего не могъ сказать положительнаго. Григорій Прохорычъ ушелъ въ другія варницы. Онъ далъ себѣ слово всячески стараться избѣгать встрѣчи съ Лизаветой Елизаровной,которую онъ любилъ, обнималъ и которая такъ жестоко оскорбила его.

Въ полдень показался на промыслахъ Иванъ Зубаревъ. Онъ нерѣшительно шелъ къ варницѣ, то и дѣло оглядываясь и озираясь по сторонамъ, какъ будто боялся, чтобы его не зашибли откуда-нибудь полѣномъ. Онъ дошелъ благополучно до варницы, вошелъ въ нее, постоялъ немного и подошелъ къ одной дѣвицѣ, за которую въ послѣднее время носилъ соль. Та обругала его, упрекнула Ульяновой.

— Не хочешь ли ты и со мной такую же штуку сдѣлать, какъ съ ней?—сказала она и ушла.

— Гляди, бабы, Зубаревъ! — начала Лизавета Елизаровна:—стоитъ, какъ оплеванный! На него никто и вниманія не обращаетъ, а онъ стоитъ... Спросите, чево ему надо еще?

Бабы заголосили, парни приняли угрожающій видъ.

— Лучше уходи добромъ въ свое село. Намъ ты теперь, послѣ твоихъ пакостей, не товарищъ,— сказала одна дѣвица.

Парни окружили Зубарева.

— Не троньте его!.. Я больше васъ имѣю право бить его, да не хочу рукъ марать объ эдакую гадину... Посмотримъ, удастся ли ему еще надуть такую дуру, какъ я,—проговорила Лизавета Елизаровна.

— Посмотримъ: кто возьметъ тебя замужъ!—крикнулъ Зубаревъ.

Всѣ заголосили, парни начали бить Зубарева, но Лизавета Елизаровна уняла ихъ. Зубаревъ ушелъ освистанный и обруганный.

— Теперь ужъ онъ и близко не подойдетъ къ нашимъ промысламъ,—говорили женщины, довольныя своею храбростью.

— Ну, и нашимъ на демьяновскомъ не совсѣмъ ловко будетъ теперь,—проговорили парни.

О Зубаревѣ можно сказать немного. Онъ былъ сынъ бѣдныхъ родителей. Сперва онъ увлекся и полюбилъ дѣвушку искренно. Но когда замѣтилъ, что она беременна, онъ ужаснулся своего поступка, думая, что его заставятъ жениться на Ульяновой, а отецъ выгонитъ его изъ дома. Онъ очень хорошо зналъ правила промысловыхъ обычаевъ, что парень или мужчина, давшій обѣщаніе дѣвушкѣ жениться на ней, долженъ былъ исполнить его, если она беременна отъ него. Отговорки не принимались. Лизавету Елизаровну онъ зналъ хорошо, но ему было неловко сказать ей, что ему не нравится ея беременность, и онъ сталъ думать, нельзя ли какъ-нибудь выпутаться изъ этого дѣла. Объяснилъ онъ это дѣло своей замужней сестрѣ, сказавъ ей, что его невѣста беременна, но, можетъ быть, и не отъ него. Та посовѣтовала ему ходить порѣже на моргуновскіе промыслы, ревновать невѣсту къ кому-нибудь. По ея совѣту и дѣйствовалъ Зубаревъ. Послѣ двухнедѣльнаго отсутствія, онъ замѣтилъ, что за Лизавету Елизаровну носитъ соль другой парень, и этого было достаточно ему, чтобы заподозрить ее въ невѣрности. Онъ не взялся помогать Лизаветѣ Елизаровнѣ и даже не поговорилъ съ ней. Но онъ полюбилъ ее, ему жалко было ее, ему хотѣлось поговорить съ ней; но гордость и подозрѣніе, что она дѣйствительно, можетъ быть, промѣняла его на заводскаго парня, удерживали его, да онъ и радовался, что на мѣсто его подвернулся другой парень. Въ этотъ день онъ шелъ на моргуновскіе промыслы за тѣмъ, чтобы сказать Лизаветѣ Елизаровнѣ, что онъ давно слѣдилъ за нею и узналъ, что она вѣтреная, почему онъ съ нею и не можетъ быть больше знакомъ.

XI.

Послѣ этого событія случилось то, что домъ Ульяновыхъ перешелъ во владѣніе припаснаго Онуфріева, который до той поры не имѣлъ своего дома. Его нельзя было никакъ уговорить, чтобы онъ пообождалъ немного въѣзжать въ домъ. Онъ ничего не хотѣлъ слушать и очень скоро перетащился съ своимъ семействомъ, состоявшимъ изъ жены, сестры и пятерыхъ дѣтей, въ старую половину, т. е. въ ту, гдѣ жили Ульяновы, потому что она была помѣстительнѣе новой, такъ какъ въ ней была изба и комната. Новую половину онъ отдалъ въ распоряженіе Ульяновыхъ съ платою ему въ мѣсяцъ пятнадцати коп. и съ тѣмъ, чтобы Ульяновы таскали на семейство Онуфріевыхъ воду. Итакъ Ульяновы помѣстились въ новой половинѣ съ Пелагеей Прохоровной и ея братомъ Панфиломъ.

Теперь все хозяйство осталось въ рукахъ Лизаветы Елизаровны, которая никакъ не хотѣла, чтобы Пелагея Прохоровна считала себя хозяйкою. Степанида Власовна теперь совсѣмъ перемѣнилась. Раньше она была строгою хозяйкою, требовала, чтобы у нея все было исправно, чисто, все лежало на своемъ мѣстѣ; прежде рано истапливалась печь, рано испекались хлѣбы и остальное время было занято или пряжею, или вязаньемъ, или тканьемъ. Теперь же, считая себя болѣе прежняго обиженною и оскорбленною, она и въ дочери, и въ сыновьяхъ, и въ маленькой дѣвочкѣ подозрѣвала враговъ. Вставала она рано, будила всѣхъ рано и начинала ворчать, что ее всѣ обидѣли, ни отъ кого ей нѣтъ почету, никто ее не хочетъ слушать.

— Да кто тебя, мамонька, не слушаетъ? Всѣ мы тебя любимъ,—скажетъ Лизавета Елизаровна.

— Это и видно. Я что говорила: не топи печь—дровъ нѣтъ...

— Это ужъ не твое дѣло. Не ты заботишься о дровахъ-то.

— Ну, вотъ! Я стала теперь не хозяйка въ своемъ домѣ?.. То, бишь, выгнали...—И начинала она разводить исторію о томъ, какъ она по милости злыхъ людей и неповиновенія дѣтей дошла до такой бѣдности.

Выйдетъ Лизавета Елизаровна къ коровѣ,—корова тощая, ѣсть хочетъ, а сѣна нѣтъ, купить не на что, украсть совѣстно, потому что и такъ уже сколько дней пробавлялись чужимъ сѣномъ. Просто мука съ одной этой коровой!.. Кабы она молока не давала—Господь бы съ ней... И ночь-то спокойно не заснешь; проснешься, корова на умъ: «какъ бы ее прокормить сегодня, какъ бы украсть гдѣ сѣна»... Думаетъ, думаетъ Лизавета Елизаровна и полѣзетъ на поломанную телѣгу къ сосѣднему сараю, засунетъ въ щелку руку, пошаритъ, пошаритъ — труха одна. И хорошо еще, что никого сегодня нѣтъ тамъ во дворѣ, а то ей не одинъ разъ уже приводилось слышать: «и какой это чортъ сѣно воруетъ? Сколько было сѣна — одна труха только теперь. Ужъ поймаю же я кого-нибудь изъ Ульяновыхъ, чтобъ у нихъ отсохли руки...

— Мамонька! Ужъ продать бы что ли корову-то! Нечего ей ѣсть-то.

— Ну, вотъ! все я виновата во всемъ... Нѣтъ ужъ, поколѣю я, а корову не продамъ.

Дѣлать нечего, пойдетъ Лизавета Елизаровна къ сосѣдямъ, кои подобрѣе, кои прежде побирались у Ульяновыхъ. И чего, чего только она не выслушаетъ отъ нихъ? Отъ однихъ словъ убѣжалъ бы человѣкъ... Но не поколѣвать же коровѣ изъ-за людскихъ непріятностей: «пусть говорятъ, что хотятъ, пусть конфузятъ и страмятъ насъ, какъ хочутъ,—все снесу, только бы дали сѣна»... Зато

какъ рада, съ какимъ восторгомъ несетъ домой Лизавета Елизаровна охапку сѣна, точно она несетъ несмѣтныя сокровища... Зато во всемъ околоткѣ про нее стали говорить: «ни у кого нѣтъ такого безстыдства, какъ у Лизки Ульяновой. Извѣстно, отпѣтая... Вѣдь знаетъ, что у насъ не горы золота, а лѣзетъ. И только ужъ по человѣчеству жалко и животинку: потому, чѣмъ бѣдная коровенка виновата, что ее морятъ голодомъ»... А Степанида Власовна не понимала всего этого. И много, много было такихъ недостатковъ, черезъ которые почти на каждомъ шагу приводилось получать Лизаветѣ Елизаровнѣ непріятности. Мать же если и сидѣла иногда цѣлый день дома за пряжей или тканьемъ, то отъ нея житья не было, все ворчитъ и говоритъ вздоръ, а уйти некуда; да и когда мать дома, нужно больше хлѣба; мать требуетъ щей, а если Лизавета Елизаровна говоритъ ей, что у нихъ семья большая, дай бы Богъ, чтобы на всѣхъ до лѣта картофеля да свеклы хватило, такъ она начинаетъ укорять ее женихомъ.

— Небось брюхо нажила, а женишку поблажку дала!.. Нѣтъ, мы не такъ прежде дѣлывали.

— Хоть бы ты этого-то не говорила, мать! — взъѣстся Лизавета Елизаровна.

— Какъ я начну тебя щепать! Ты развѣ не моя дочь? Не я тебя вспоила, вскормила, на ноги поставила? Ну, дура же я была, что не швырнула съ полатей тебя... Только бросить, мокренько бы стало.

— Мамонька! Да чѣмъ же я виновата?

— А! Теперь дакъ чѣмъ виновата! Нѣтъ, матушка, коли кататься любишь, люби и саночки возить... Изволь теперь кормить меня.

«Мать права», думаетъ Лизавета Елизаровна. «Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ она виновата, что я беременна? Какая мать въ состояніи уберечь свою дочь на промыслахъ?.. Вотъ теперь я знаю, что отъ такого баловства можно нажить горе на всю жизнь, а тогда я и вѣрить этому не хотѣла, потому что молода еще очень была... Если мать и ругала меня, я думала: она зла мнѣ желаетъ. А все же и она виновата: отчего бы матери лаской да съ любовью не научить дѣвчонку, какъ дѣйствовать, если парень умасливаетъ дѣвку? Отчего не сказать: бойся, молъ, мила дочка, парней, и до тѣхъ поръ, какъ парень не женится на тебѣ, не спи съ нимъ... Чѣмъ виновата мать, что у насъ такая бѣдность? Вѣдь знаетъ она, что ни я, ни Степанъ не сидимъ безъ дѣла, и все-таки нашихъ денегъ не хватаетъ на недѣлю. Чѣмъ и отецъ виноватъ былъ, если у него доходовъ не стало... И зачѣмъ она всю вину теперь на меня сваливаетъ, зачѣмъ сама объ своихъ дѣтяхъ не заботится?»

Семейство отдыхало, когда Степаниды Власовны не было дома. Но и въ это время у Лизаветы Елизаровны щемило сердце. «Лучше бы она не ходила, меньше бы говорили про насъ». И дѣйствительно, Степанида Власовна ходила не за дѣломъ, не для работы, а такъ, Богъ знаетъ зачѣмъ. На нее нашла апатія; дѣлать ей ничего не хотѣлось; при видѣ знакомыхъ она горячилась, подозрѣвая ихъ въ отравленіи ея, мужа ея и ея семейства... На улицахъ, въ домахъ, куда ее принимали изъ жалости, она не могла найти себѣ покоя. Дома ей было душно; ея семейство давило ее. И вотъ она стала попивать водку, и такъ крѣпко, что на нее уже нечего было надѣяться.

Панфилъ жилъ очень дружно со Степаномъ. Хотя они и ссорились часто, потому что во многомъ не сходились другъ съ другомъ и дрались частенько изъ-за того, что который-нибудь изъ нихъ воровалъ у другого кусокъ хлѣба, надѣвалъ ботинки или фуражку,—но если не было дома одного, другой скучалъ. Степанъ работалъ на вороту, т. е. погонялъ лошадей, и за это получалъ платы за день десять коп. Случалось, что онъ отъ устатка сваливался и сладко засыпалъ, но за это его колотили безъ пощады, не считая еще его за человѣка. Такая работа впрочемъ не всегда бывала, да и она мальчику очень надоѣдала, и поэтому онъ съ охотою шелъ въ варницы, и если тамъ за броску дровъ въ печь, за складку дровъ въ полѣнницу или очистку снѣга откуда-нибудь на промыслахъ ничего не давали, то онъ все-таки днемъ не шелъ домой, потому что ему дома бывало скучно, онъ отвыкалъ уже мало-по-малу отъ дома и считалъ себя большимъ человѣкомъ, почему и не любилъ, чтобы его дома ругали. Поэтому часто случалось, что или Степанъ прибѣжитъ къ Панфилу покурить табачку, погрѣться, или Панфилъ къ Степану убѣжитъ отъ рабочихъ, которые за что-нибудь хотятъ бить его, или просто покалякать со скуки. А у Панфила новостей или разсказовъ было больше, потому что онъ терся съ людьми, а Степанъ только около лошадей.

Разъ Панфилъ приходитъ къ Степану, который, отъ нечего дѣлать, изощрялся попасть хворостиной въ глаза которой-нибудь изъ лошадей. Увидя Панфила, Степанъ бросилъ хворостинку и подошелъ къ нему. Лошади стали.

— Слышь, Степка, что мужики говорятъ: мы напрасно деньги-то отдаемъ дома.

— А имъ что за дѣло?

— Вы, говорятъ, дураки, ужъ не маленькіе теперь. Сколько, говорятъ, вы не принесете, все возьмутъ, а вамъ ничего не отдадутъ. Не надо, говорятъ, отдавать деньги. Лучше, говорятъ, на сапоги копить.

— Дурень!—какъ не отдать-то?

— А ты возьми и не отдай—не дали, молъ... Я дакъ не отдамъ, потому сестра сама большая. Сама замужемъ была, и я ей больше не помощникъ. Вонъ Гриша тоже не живетъ съ нами. А мы, Степка, на квартиру пойдемъ.

Степанъ ничего не сказалъ. Онъ задумался. Слова Панфила его точно ошпарили; онъ вытараща глаза, смотрѣлъ на метелку, и долго простоялъ въ такомъ положеніи, до тѣхъ поръ, пока не вывела его изъ оцѣпенѣніи одна лошадь, начавшая чихать. Панфила уже не было въ насосѣ.

Степанъ былъ совсѣмъ сбитъ съ толку своимъ пріятелемп. Находясь постоянно среди рабочихъ и считая себя тоже рабочимъ, только еще неболь-

шимъ, онъ понималъ все, что̀ творилось вокругъ него; но онъ былъ въ такомъ возрастѣ, въ которомъ легко подчиняются вліянію товарищей и взрослыхъ. Свое ничтожество передъ взрослыми онъ сознавалъ изъ того, что онъ не имѣлъ такой силы, какъ взрослые; взрослый легко могъ стиснуть ему руку такъ, что онъ чувствовалъ сильнѣйшую боль; на многія слова онъ не могъ ничего отвѣчать; не могъ многаго сдѣлать такъ, какъ дѣлаютъ взрослые: взрослые ругали его мальчишкою, не дозволяли ему дотрогиваться до такихъ вещей, до которыхъ ему не слѣдовало дотрогиваться, умѣряли его любопытство, толкали его оттуда, гдѣ ему по его лѣтамъ быть не слѣдовало, теребили за уши, если онъ забирался въ кабакъ и тянулъ изъ рюмки водку. Поэтому, отстраняемый всюду, даже въ церкви, на задній планъ, онъ всячески старался добиться того, отъ чего его отстраняли, и старался во всемъ подражать взрослымъ, для того, чтобы его не считали мальчишкою. Вообще ему, промысловому мальчику, приходилось переносить много, и надо удивляться живучести его натуры.

Въ отцѣ Степанъ видѣлъ домохозяина, главу, но онъ его нисколько не боялся, потому что его не боялась мать, которая, какъ онъ понималъ, держала отца въ ежовыхъ руковицахъ. Отъ рабочихъ онъ слышалъ, что его отецъ мокрая курица, которую мать его можетъ загнать, куда угодно. Кромѣ этого онъ слыхалъ отъ брата, что онъ незаконный сынъ, что отецъ его другой, и поэтому онъ не имѣлъ особенной любви къ отцу, относясь къ нему, какъ къ хозяину. Мать была для него не то: онъ ее всегда видѣлъ дома, мать одѣвала его, давала ѣсть, кричала на него и колотила его, когда онъ ея не слушался. Степанъ не боялся постороннихъ людей, которые его бранили и били; а мать скажетъ слово — онъ боится, чтобы она его не ударила, а станетъ огрызаться, ему же достанется. Изъ ея разговоровъ онъ понималъ, что мать если работаетъ на промыслахъ, прядетъ куделю, ходитъ куда-нибудь, то все это она дѣлаетъ для дѣтей. Но, видя, какъ рабочіе обращаются съ пожилыми женщинами на промыслахъ, онъ все-таки сознавалъ, что женщина не мужчина, ея власть надъ нимъ нейдетъ дальше ея дома, и что поэтому мать его только въ своемъ семействѣ имѣетъ верхъ надъ дѣтьми, но на промыслахъ — существо, довольно слабое, ничѣмъ не рознящееся отъ другихъ женщинъ, съ которыми, кто хочетъ, тотъ и заигрываетъ, которыхъ, кто хочетъ, тотъ и обругаетъ. Все-таки онъ свою мать уважалъ, и если кто при немъ говорилъ про нее нехорошо или ругалъ ее, онъ заступался за нее, что̀ очень смѣшило молодыхъ рабочихъ. И сосѣди говорили, что у Ульяновыхъ изъ дѣтей только одинъ Степка покорный, который со всѣхъ ногъ бѣжитъ туда, куда пошлетъ его мать, и относили это къ тому, что онъ былъ любимецъ Степаниды Власовны. Знакомые Степаниды Власовны говорили, что Степанъ походитъ лицомъ и манерами на нее. И дѣйствительно, Степанъ, вымывшись въ банѣ и принарядившись, казался очень красивымъ мальчикомъ. Въ характерѣ его было много женственности, и онъ былъ мальчикъ, какъ говорили дѣвушки, завидущій. Но однако, несмотря на то, что зависть свою онъ проявлялъ передъ всѣми родными и любилъ поѣсть сладкаго, онъ каждую копейку отдавалъ матери, и если покупалъ пряникъ, то не зналъ, что̀ ему соврать матери, которая знала, сколько Степанъ получалъ заработка. Такъ было до отъѣзда отца. При прощаніи въ его голову врѣзались непонятныя слова родителей и сестры; онъ замѣтилъ, что въ семействѣ что-то отъ него скрываютъ. Онъ долго думалъ объ этой сценѣ и ничего не могъ выдумать, а пришелъ только къ тому заключенію, что его отецъ человѣкъ нехорошій, сестра тоже нехорошая, потому что она что-то сдѣлала нехорошее, коли плакала. Но отчего, спрашивается, ушелъ отецъ? Отчего онъ его не взялъ съ собою, если на золотыхъ хорошо? Отчего отецъ плакалъ и всѣ плакали, когда прощались съ нимъ?.. Ужъ не обидѣлъ ли кто отца? Думалъ Степанъ и старался подслушать, что про него говорятъ рабочіе. Изъ этихъ подслушиваній онъ узналъ, что мать ругаютъ всѣ мужчины за то, что она сама не умѣла беречь деньги, когда отецъ имѣлъ большіе доходы; что не трать она деньги на угощенія своихъ любовниковъ, Елизаръ Матвѣичъ не сидѣлъ бы понапрасну три года въ лѣсу безъ дѣла, а могъ бы заняться торговлей; что отъ такой сварливой жены поневолѣ побѣжишь куда-нибудь. И много, много Степанъ услыхалъ отъ рабочихъ. Горько ему было, плакалъ онъ, что обижаютъ его мать, и при первомъ же случаѣ хотѣлъ пожаловаться ей; но въ первые дни мать была очень сердита, къ ней нельзя было и подступиться, ругала его, гнала вонъ, говоря, что теперь ей и самой нечего жрать, не только что кормить еще такую ораву.

— А, мамонька, мои деньги... — сказалъ Степанъ, думая, что онъ этимъ угодитъ матери.

— Ты что меня коришь своими-то деньгами? Ахъ ты, мерзавецъ! Онъ только что въ работу поступилъ, а ужъ началъ укорять меня, что я на его деньги живу.

Долго ругалась мать, и даже побила Степана въ этотъ день. Степана это разобидѣло. Ему думалось, что матери не жалко его; она не понимаетъ того, какъ ему тяжело на работѣ. Мать день ото дня становилась сердитѣе; если сынъ отдавалъ ей деньги, она ругала его, зачѣмъ онъ мало принесъ, что онъ вѣроятно сошелся съ мошенниками, которые обираютъ его. Станетъ возражать Степанъ, мать такъ крикнетъ на него, что онъ вздрогнетъ и не найдется, что сказать. Крѣпко сталъ Степанъ подумывать о томъ, какъ бы угодить матери. Прежде мать по головѣ его гладила, когда отдавалъ онъ ей недѣльный заработокъ, кормила его досыта, если что пекла сладкое, то сама не попробуетъ, а дастъ ему,—теперь бьетъ за то, что онъ мало носитъ денегъ, хотя онъ теперь цѣлыми двумя копейками получаетъ больше прежняго, сладкаго ничего нѣтъ, да и

хлѣбъ даже покупаютъ съ рынка. Прежде, мать заботилась, нѣтъ ли на халатишкѣ дыры, цѣлы ли у него ботинки, — теперь все разваливается, мать не спрашиваетъ, а поди-ка сунься къ ней, когда она все ворчитъ. Хорошо еще, что сестра коекакъ заштопаетъ. О Лизаветѣ Елизаровнѣ онъ тоже былъ дурного мнѣнія, но она въ послѣднее время стала ему больше нравиться, потому что она съ нимъ разговаривала, играла съ нимъ въ карты, разспрашивала его, кормила и заштопывала дыры на халатишкѣ и на ботинкахъ; когда сестры и Пелагеи Прохоровны не было дома, туда хоть не показывайся: ни корки оглоданной не найдешь нигдѣ. Кромѣ этого ему нравилось то, что она отказалась быть женою Григорія Прохорыча, котораго онъ терпѣть не могъ за его хвастовство и надменность.

Степану мало приводилось работать съ рабочими. Онъ больше находился въ насосѣ около лошадей одинъ или съ какимъ-нибудь рабочимъ, который больше молчалъ. Въ такомъ уединеніи у него много было времени думать, къ тому же онъ не былъ охотникомъ пѣть одинъ пѣсни. И онъ думалъ много. Но главною его думою ежедневно было о томъ, что̀ будетъ изъ него, когда онъ сдѣлается богачемъ, и какимъ образомъ ему достичь до того, чтобы сдѣлаться богатымъ человѣкомъ? Все это онъ развивалъ на разные лады: каждый новый предметъ давалъ ему тему для новыхъ думъ. Лѣтомъ онъ думалъ, что найдетъ деньги подъ лодкой, въ которой онъ или кто-нибудь перевозилъ состоятельнаго человѣка черезъ рѣку; на эти деньги онъ завелъ бы нѣсколько лодокъ, въ которыхъ его семейство стало бы перевозить весной людей черезъ рѣку дешевле, чѣмъ берутъ на перевозѣ, и такимъ образомъ нажилъ бы много денегъ и изъ нихъ половину бралъ бы себѣ, а половину отдавалъ матери, и т. д. Зимой онъ думалъ: хорошо бы заработать деньги на лошадь, которую бы можно было запречь въ воротъ, и тогда онъ сталъ бы получать платы по четвертаку въ день; по праздникамъ бы сталъ на этой лошади возить дрова на варницы — и мало-по-малу разжился бы, и т. д. И чѣмъ больше казалась ему невыносимою брань, тѣмъ больше онъ проводилъ время въ думахъ о богатствѣ и даже мало спалъ по ночамъ. А тутъ еще новое горе: промысловая Варька, пятнадцатилѣтняя дѣвушка, съ которой онъ съ трехлѣтняго возраста игралъ вмѣстѣ, стала ему нравиться болѣе прежняго. Варьку онъ сталъ почему-то бояться, и при мысли о ней по всему тѣлу чувствовалъ что-то пріятное: такъ вотъ и хочется видѣть ее, сидѣть съ ней и смотрѣть на нее. Ужъ онъ ее разъ обнялъ въ чуланѣ, да она его такъ оттолкнула, что онъ сильно ушибъ о косякъ лѣвый локоть. А какъ разъ обнялъ да получилъ толчокъ, захотѣлось и въ другой разъ; только она сказала:

— Не стоишь! Подари мнѣ платокъ съ картинкой, такъ я тебѣ позволю обнимать меня часто. Тогда и я тебѣ варежки подарю.

Задумался Степанъ крѣпко надъ словами своего пріятеля. «Въ самомъ дѣлѣ», думалъ онъ, «если я не стану отдавать денегъ матери или сестрѣ, я накоплю денегъ. Куплю себѣ ботинки, Варькѣ платокъ; Варька мнѣ подаритъ варежки и чулки». Но какъ это сдѣлать? Что сказать матери, куда деньги спрятать?

По окончаніи работы онъ зашелъ за Горюновымъ въ варницу; тотъ уже спалъ. Ульяновъ разбудилъ его.

— Не пойду. Гришка вонъ тоже не ходитъ, и я не пойду. Не ходи и ты, коли хочешь быть мнѣ товарищемъ,—сказалъ Степанъ Панфилу.

Въ первый разъ пришлось Степану ночевать въ варницѣ. Случалось ему спать и въ шалашѣ у отца, и въ лѣсу, и на берегу рѣки, зато онъ спалъ тамъ въ виду матери или съ разрѣшенія ея; теперь же ему пришлось покидать мать и сестру по своему капризу. Но отстать отъ Панфила ему не хотѣлось; рабочіе говорили: гдѣ Степкѣ спать въ варницѣ, онъ ни на шагъ не можетъ отойти отъ матери и спитъ на перинѣ. Степанъ легъ къ Панфилу, но долго ворочался съ боку на бокъ, и если бы не ночь, то давно убѣжалъ бы домой.

На другой день ему было очень скучно о матери, и онъ боялся теперь показаться ей. Чѣмъ больше онъ думалъ о своемъ поступкѣ, тѣмъ больше находилъ себя неправымъ, потому что никто, кромѣ матери, такъ не любилъ его раньше. А если теперь она не любитъ, то, можетъ быть, это не долго будетъ продолжаться. Вечеромъ Степанъ направился домой, но Панфилъ попался ему навстрѣчу. Онъ несъ на веревочкѣ двухъ налимовъ.

— Степка! Иди уху хлебать!.. Славная уха, съ лукомъ, съ перцемъ... Славно будетъ! Гуляй, Степка!!

У Степки слюни текли отъ желанія похлебать ухи; ему слышался запахъ рыбьяго навара. Онъ уже съ Покрова не ѣдалъ рыбы. Тогда мать пекла пирогъ съ сигами, а о налимахъ онъ только слыхалъ, что они хороши. И онъ пошелъ за Панфиломъ.

Панфилъ Горюновъ справлялъ сегодня свое вступленіе въ товарищество рабочихъ. Хотя рабочіе и не считали его за большого рабочаго, но такъ какъ онъ работалъ наравнѣ съ ними то же, что и они, то они и не гнушались съ нимъ водить компанію, обѣдать вмѣстѣ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже затыкались имъ, т. е. просили его въ случаѣ отсутствія товарища замѣнить того, за что онъ, кромѣ спасиба, пока ничего не получалъ. Товарищество состояло въ томъ, чтобы работать вмѣстѣ, въ случаѣ утайки кѣмъ-либо какой-нибудь промысловой вещи всѣмъ молчать, хотя бы при этой утайкѣ не было произведено между товарищами никакого дѣлежа, не выдавать товарища, если онъ почему-нибудь ушелъ изъ варницы съ полъ-дня или полъ-ночи, а требовать, чтобы ему была положена плата, какъ и всѣмъ, за полное число урочнаго времени. Товарищество составляли большею частью друзья, и поэтому въ компанію къ нимъ попасть было не легко. Панфилъ же попалъ потому, что онъ былъ мальчикъ бойкій, острый на словахъ, умѣлъ угодить всѣмъ, раза два уже обругалъ смотрителя и тотъ ничего не сдѣлалъ за это мальчишкѣ, потому что не нашелъ, что̀ возразить на его

рѣзкія замѣчанія. Особенно рабочимъ нравилось въ Горюновѣ то, что онъ отказался жить съ сестрой и, стало быть, будетъ имѣть деньги, которыми легко можетъ будетъ имъ позаимствоваться отъ него. Рыбу же Панфилъ досталъ довольно смѣло. Напротивъ амбара, недалеко отъ берега, онъ замѣсилъ утромъ какого-то мужчину, вытаскивающаго изъ маленькой проруби палку, потомъ какую-то плетушку. Это его заняло. Онъ подошелъ къ нему и узналъ, что мужчина становитъ морды и снасти, которыми ловятъ рыбу. Вотъ вечеромъ Панфилъ и пошелъ ловить рыбу. Морду онъ не могъ поднять, а бичевка съ вершковыми крючками была такъ велика, что онъ ее едва на четверть вытащилъ изъ дыры. И тутъ съ нимъ едва не случилась бѣда; одинъ крючокъ зацѣпилъ за халатъ, его стало тянуть къ дырѣ; ладно, что онъ ножикъ взялъ съ собой и обрѣзалъ бичевку и потомъ схватилъ бичевку съ налимами, пустился бѣгомъ къ варницамъ, потому что услыхалъ недалеко отъ себя крикъ рыболова, который хотѣлъ его побить. На промыслахъ онъ былъ въ безопасности, потому что туда рыболовъ идти побоялся бы.

Уху хвалили всѣ, несмотря на то, что къ ней недоставало водки. Степанъ ѣлъ съ жадностью, и послѣ ужина у него прошла охота идти домой. Такъ прошло до субботы. Въ субботу утромъ ребята задумались: гдѣ имъ выпариться и гдѣ провести воскресенье. Утромъ Панфилъ высказалъ это затрудненіе товарищамъ. Тѣ тоже призадумались.

— Въ банѣ выпариться безпремѣнно надо и рубаху надо тоже попарить, да вымыть надо... У насъ-те нѣту бань, сами паримся гдѣ попало, а вамъ, ребятишкамъ, и подавно негдѣ... Мы пожалуй съ собой возьмемъ, только куды послѣ бани вамъ дѣваться? Вѣдь не все же на промыслахъ быть? Вѣдь бываетъ же и свиньѣ праздникъ.

Такъ рабочіе вопросъ о томъ, гдѣ провести ребятамъ праздникъ, ничѣмъ не рѣшили.

Въ субботу была работа и женщинамъ на промыслахъ. Какъ водится, тамъ были Лизавета Елизаровна съ матерью и Пелагея Прохоровна. Степанида Власовна поработала немного и пошла разыскивать сына.

— Варваръ! Въ добрую землю видно вошелъ!— кричала она на Степана.

Степанъ молчалъ.

— Съ эдакихъ лѣтъ отъ дому сталъ лытать (бѣгать)! Гдѣ ты былъ?

— Здѣсь!

— Врешь! не повѣрю!

— Я, мамонька, не пойду больше домой. Мнѣ и здѣсь хорошо.

Мать разразилась ругательствомъ, но на нее прикрикнулъ рабочій.

— Что кричишь-то! Только парня-то отъ дѣла отнимаешь. И такъ ужъ чуть не всѣ жилы изъ него вытянула,—проговорилъ онъ вслухъ и оттолкнулъ ее отъ насоса.

Степанида Власовна пошла жаловаться на рабочихъ смотрителю, что они совсѣмъ развратили Степку, и просила его заступиться за нее, то есть отодрать его хорошенько сейчасъ же при ней, какъ это было прежде.

— Не могу. На то есть полиція.

Степанида Власовна заплакала и поклонилась смотрителю въ ноги, прося его выдать ей заработокъ Степана.

— Ты, матушка, сама въ состояніи робить! Отъ тебя и теперь разитъ водкой.

И смотритель вытолкалъ отъ себя Степаниду Власовну.

Степанида Власовна не унялась, а пошла къ полицейскому начальству, которое отказалось наказать розгами ея сына, но дало ей бумагу, чтобы заработную плату сына ея Степана выдавали ей. Смотритель позвалъ къ себѣ Степана и объявилъ ему о продѣлкѣ его матери.

Степанъ стоялъ блѣдный, молчалъ.

— Не ты первый... Эти пьяныя бабы меня совсѣмъ сбили съ толку, и я не знаю, какъ помочь тебѣ... Если я всѣмъ стану помогать, самому придется голодомъ сидѣть! А супротивъ полиціи я ничего не могу сдѣлать, потому наши порядки съ ея порядками не сходятся.

Вечеромъ Степанида Власовна получила за Степана деньги за всю недѣлю, такъ какъ Степанъ работалъ всю недѣлю на одномъ мѣстѣ. Рабочіе ее стыдили; уговаривала ее и Лизавета Елизаровна не брать деньги, если Степанъ не хочетъ ихъ отдавать имъ для хозяйства; плакалъ Степанъ,—ничто не помогло. Степанида Власовна ушла съ деньгами.

— А вѣдь, ребята, съ ней ничего не сдѣлаешь. Она мать!—говорили рабочіе.

— Да парню-то отъ этого не легче!.. Надо бы его пристроить куда-нибудь.

— Кто станетъ даромъ кормить?.. Слушай, Степка... Твоя мать беретъ за тебя деньги, значитъ полиція думаетъ, что она живетъ на твой счетъ и семью кормитъ.!. А всѣмъ теперь, послѣ Елизара, извѣстно, что кормитесь вы Лизкой. И дуракъ ты будешь, если не станешь требовать свое... Ступай домой хозяиномъ. Знать, молъ, не хочу, давай мнѣ мое, одѣвай, обувай меня,—проговорилъ одинъ рабочій.

— Хоть бы кормила, и то ладно, — замѣтилъ кто-то въ толпѣ.

Настроенный такимъ образомъ рабочими, Степанъ пошелъ домой съ сестрою, Панфиломъ и Пелагеею Прохоровною, которая говорила, что хорошо онъ дѣлаетъ, что не живетъ дома, потому что ее и такъ коритъ Степанида Власовна угломъ. И если бы она, Пелагея Прохоровна, имѣла больше заработка, то ушла бы на другую квартиру, да и теперь живетъ только потому, что ей веселѣе съ Лизаветой Елизаровной.

Степаниды Власовны дома не было. Она пришла уже въ то время, когда всѣ выпарились въ банѣ. и пришла пьяная, но ворчала недолго и, свалившись на полъ, скоро заснула. Лизавета Елизаровна пощупала карманъ въ сарафанѣ Степаниды Власовны—ничто не брякало.

— Какъ есть всѣ уходила!—сказала она съ горестью.

Вскорѣ легли спать всѣ обитатели этой квартиры, и черезъ полчаса, какъ погасили лучину, въ избѣ настала тишина, прерываемая храпомъ Степаниды Власовны. Не спали только Пелагея Прохоровна и Степанъ; но оба они, занятые своими мыслями, думали, что спятъ всѣ. Вдругъ Пелагея Прохоровна, спавшая на кровати рядомъ съ Лизаветой Елизаровной, услыхала, что кто-то слѣзъ съ печки и подошелъ къ Степанидѣ Власовнѣ. Немного погодя, что-то стукнуло подъ лавкой. Пелагея Прохоровна задрожала, встала и на цыпочкахъ подошла къ столу, на которомъ она ощупала спички. Она чиркнула спичкой, спичка зажглась—и въ этотъ моментъ она увидѣла Степана, поднявшаго руки кверху съ топоромъ. Въ тотъ моментъ, какъ освѣтило избу, топоръ выпалъ у Степана назадъ отъ него и попалъ на голую ногу Пелагеи Прохоровны, но къ счастью не остріемъ, а обухомъ.

Пелагея Прохоровна схватила за руки Степана.

— Что ты дѣлаешь, разбойникъ?—крикнула она въ испугѣ.

— Ничего... Пусти...—и Степанъ сталъ барахтаться.

— Лиза! Помоги мнѣ.

— Что такое?—проговорила въ испугѣ Лизавета Елизаровна.

— Братчикъ-то твой...

Лизавета Елизаровна вскочила; зажгла огня на лучину и увидала: Пелагея Прохоровна борется съ Степаномъ, который старался вырвать свои руки изъ рукъ Мокроносовой, а ртомъ старался достать или локоть, или плечо ея, чтобы укусить. Увидя топоръ, Лизавета Елизаровна крикнула, и съ ней сдѣлалось дурно. Въ это время проснулся Панфилъ и открыла глаза Степанида Власовна.

Степанъ вырвался и выбѣжалъ изъ избы. Пелагея Прохоровна оттолкнула топоръ ногой подъ лавку. Степанида Власовна присѣла, оглядѣлась, потомъ выбѣжала на дворъ и закричала:

— Караулъ!.. рѣжутъ!..

На ея крикъ сбѣжались хозяева и, узнавъ отъ нея, въ чемъ дѣло, хотѣли идти спать, потому что на нее не стоило обращать вниманія; но вышла Пелагея Прохоровна и стала звать хозяйку на помощь Лизаветѣ Елизаровнѣ, которой съ испугу сдѣлалось дурно. Хозяинъ, узнавъ о покушеніи на жизнь матери Степаномъ, никакъ не хотѣлъ прекратить это дѣло, и, какъ его ни упрашивали Мокроносова, Горюновъ и Лизавета Елизаровна не разглашать о немъ, онъ для своей безопасности созвалъ двухъ сосѣдей въ квартиру своихъ жильцовъ и утромъ заявилъ полиціи.

Лизавета Елизаровна къ утру выкинула мертваго ребенка. Къ утру же разыскали Степана и посадили въ полицію, гдѣ онъ сказалъ, что хотѣлъ убить мать за то, что она отняла у него заработокъ.

XII.

Степанида Власовна два дня ходила по селу, какъ ошалѣлая. На первыхъ порахъ ей такъ и казалось, что весь свѣтъ вооружился противъ нея. Ужъ если ея родной сынъ, ея любимецъ, поднялъ не нее руку, чего же можно ждать ей отъ чужихъ! Она не хотѣла себѣ вѣрить, что она сама своими глазами видѣла сына! Но его держала за руки ея жиличка, Пелагея Прохоровна; дочь ея выкинула отъ испуга; сынъ въ глаза сознался ей въ преступленіи. Много слезъ пролила Степанида Власовна наединѣ и при людяхъ, жалуясь на то, что она самая несчастная въ селѣ женщина. Поступокъ Оглоблиной въ сравненіи съ поступкомъ ея сына, по заключенію Степаниды Власовны, былъ капля въ морѣ: Оглоблиной она могла сдѣлать вредъ, могла ее срамить, какъ ей хотѣлось, но сынъ... сынъ, котораго она любила, на котораго она возлагала большія надежды, ея родной сынъ поднялъ на нее руки... Слыханное ли дѣло въ селѣ? Она никакъ не могла понять, что́ за причина, что сынъ поднялъ на нее руку? Что бы онъ выигралъ, убивъ мать свою? Ужъ ему острога не миновать, какъ онъ ни скрывайся. Развѣ ему жизнь надоѣла въ селѣ? «Я не держала, иди хоть на всѣ четыре стороны; я бы держать не стала... Отчего бы ему не сказать мнѣ: я, молъ, не хочу отдавать тебѣ деньги, и я бы ничего... Стала бы собирать Христа-ради и прокормила бы какъ-нибудь ребятишекъ»... Такъ говорила Степанида Власовна всѣмъ спрашивавшимъ ее съ удивленіемъ о сынѣ, стараясь услышать отъ нихъ сочувствіе, жалость къ ней, всѣми обиженной. Но они говорили одно: «сама, матушка, виновата; ты сама довела до того сынка, что онъ поднялъ на тебя руку. Отчего наши дѣти не поднимаютъ на насъ рукъ? А вѣдь и наше-то житье не барское!»

Теперь Степанида Власовна уже не ругалась дома, гдѣ она проводила большую часть времени, почему что ей тяжело было показываться въ селѣ, гдѣ она какъ будто чувствовала себя оплеванною. Напротивъ, она старалась держать себя дома хорошею хозяйкою, доброю матерью. Она теперь уже не бранила и дочь за то, что та выкинула младенца, а заботилась о томъ, чтобы та выздоровѣла, сообщала ей результаты своихъ похожденій на счетъ слуховъ про Оглобину, которая, какъ она узнала отъ пріѣзжающихъ на рынокъ изъ деревень крестьянъ, торгуетъ въ городѣ калачами, пряниками и орѣхами; сдѣлалась ласкова съ Пелагеей Прохоровной, которая спасла ее отъ смерти. Все это удивляло молодыхъ женщинъ, и онѣ не знали, къ чему отнести такую перемѣну въ Степанидѣ Власовнѣ.

Недостатки Ульяновыхъ увеличились еще болѣе. Это Степанида Власовна видѣла и особенно ощущала при наступленіи Пасхи. И она раскаивалась въ томъ, что послѣ отъѣзда мужа тратила понапрасну время на нанесеніе оскорбленій Оглоблиной, пропивала почти половину заработка Степана. «Хотя бы польза была изъ этого», думала она. Хотя Оглоблиной и нѣтъ теперь въ селѣ, но ей-то отъ этого не легче. У нея нѣтъ своего дома, не на что купить даже льну для того, чтобы изъ него извлечь какую-нибудь выгоду, и стало быть не на что купить хлѣба! А теперь еще Никита и Марья

захворали, нужно звать лекарку, ей нужно платить... Сбирать Христа-ради совѣстно, потому что у нея есть взрослая дочь, которая одна въ состояніи своими заработками прокормить цѣлое семейство. Но и дочь расхворалась. Иныя женщины такъ на третій день послѣ родовъ въ силахъ работать, а Лизавета Елизаровна вотъ уже цѣлый мѣсяцъ съ кровати не встаетъ, худѣетъ, ничего не ѣстъ. Ходила Степанида Власовна даже къ доктору посовѣтоваться насчетъ болѣзни дочери, да докторъ ея не принялъ. Ходила Степанида Власовна и къ начальству разному, прося его выпустить Степана, потому что она прощаетъ его поступокъ и не желаетъ, чтобы его судили; но надъ ней посмѣялись и сказали ей, что теперь она надъ сыномъ не имѣетъ уже никакой власти, потому что онъ находится въ рукахъ правосудія.

Походитъ, походитъ Степанида Власовна по селу, поищетъ во многихъ домахъ работы—нигдѣ нечего ей дѣлать. Куда ни придетъ—вездѣ удивляются, что она ищетъ работы, тогда какъ иную женщину не скоро заманишь на работу въ какой-нибудь домъ, потому что женщины любятъ только носить соль, отчего вѣроятно въ богатыхъ семействахъ и выработалась поговорка: «тяжела на подъемъ, какъ солоноска». Да и что ей работать на домахъ? Богатыя семейства имѣютъ прислугу, большею частью изъ дѣвушекъ, которыхъ держатъ изъ-за хлѣба; бѣдныя дѣлаютъ все сами. Въ одномъ мѣстѣ ее впрочемъ заставили вымыть полъ, но хозяйка послѣ обѣда шаль потеряла, и Степаниду Власовну свели въ полицію. Шаль нашлась, и Степаниду Власовну выпустили. Въ другомъ мѣстѣ заставили бѣлье стирать, да увидала хозяйка, что Степанида Власовна не умѣетъ стирать бѣлья, прогнала ее, не заплативъ за потраченное время ни копейки. Придетъ она домой усталая, задумается. Дѣти стонутъ, дочь лежитъ исхудалая.

— Господи помилуй! Господи помилуй!—шепчетъ съ отчаяніемъ Степанида Власовна и посмотритъ на дочь.

«Неужели она помретъ?» — спрашиваетъ сама себя Ульянова. Возьметъ прялку, на прялкѣ замотанъ клочокъ кудели, и положитъ назадъ прялку.

И только одна Пелагея Прохоровна спасала эту семью отъ голодной смерти. Пелагеѣ Прохоровнѣ давно опротивѣла здѣшняя жизнь. Не разъ приставали къ ней мужчины съ любезностями, не одинъ уже дѣлалъ ей предложенія «скоротать съ нимъ жизнь». Отъ всѣхъ она отдѣлывалась или молчаніемъ, или рѣзкими возраженіями, за что ее и стали всѣ звать гордячкой; а такъ какъ она ни съ кѣмъ компаніи не вела, то преимущественно женщины стали считать ее женщиной злою, старающеюся только о своей пользѣ, и смѣялись надъ тѣмъ, какъ она цѣлый день носила соль одна; если же отъ устатка она прислонялась къ стѣнѣ или садилась, ей говорили, что она лѣнится, что если она своимъ усердіемъ хочетъ выслужиться передъ смотрителемъ и получить какъ-нибудь больше денегъ, то не должна присѣдать и прислоняться къ стѣнѣ. Мало этого, про нее стали говорить, что она мѣтитъ попасть въ любовницы приказчика, который постоянно на нее заглядывается и одинъ разъ даже передалъ ей лишній гривенникъ по тому поводу, какъ онъ самъ сказалъ при возвращеніи этого гривенника Пелагеею Прохоровною ему, что ему угодно сдѣлать ей презентъ. Наконецъ женщины стали отталкивать Пелагею Прохоровну отъ дверей варницы для того, чтобы она не попала въ солоноски. Но Пелагея Прохоровна къ удивленію женщинъ все-таки попадала въ солоноски, но зато ей приводилось много выслушивать отъ нихъ и брани, и насмѣшекъ. Все это тяжело было переносить Пелагеѣ Прохоровнѣ; она проклинала тотъ день, въ который согласилась идти съ дядей изъ города, и давно ушла бы изъ села обратно въ городъ, если бы не было холодно. Кромѣ холода ее удерживало то, что Короваевъ хотѣлъ извѣстить ее о своемъ житьѣ въ и—скомъ заводѣ, и она дожидалась чуть не каждый день вѣсти о немъ, да и Григорій Прохорычъ, ушедшій туда же черезъ двѣ недѣли послѣ признанія Лизаветы Елизаровны, хотѣлъ написать ей подробно о тамошнемъ житьѣ, и если найдетъ Короваева, то и о немъ. Но ни Короваевъ, ни братъ ничего ей не писали; ни о нихъ, ни о дядѣ не было никакого извѣстія, точно они въ воду канули.

«Всѣ они обманщики, они только о себѣ заботятся. Ишь куда завели меня! Это они нарошно завели меня сюда, чтобы я имъ не мѣшала, чтобы избавиться отъ лишняго человѣка. Такъ погодите же! Дождусь я лѣта, и сама пойду искать себѣ счастья. Ужъ не поклонюсь я вамъ! Мой дѣдушка тоже никому не кланялся, самъ въ люди вышелъ, съ нашимъ господиномъ въ Петербургѣ жилъ и если бы не набѣдокурилъ тамъ, не то бы было съ нами. Будете вы домогаться, чтобы я потомъ по вашей дудкѣ пѣсни пѣла, да ужъ поздно. А что Короваевъ злой человѣкъ, это изъ того видно, что онъ и дядю мово сюда затащилъ и разошелся съ нимъ на другой же день. Ужъ если бы онъ захотѣлъ жениться на мнѣ, могъ бы съ кѣмъ-нибудь грамотку послать: хорошо ли, худо ли ему».

Такъ думала Пелагея Прохоровна и твердо рѣшила лѣтомъ непремѣнно опять идти въ тотъ же городъ, въ которомъ она жила раньше. «Говорятъ, городовъ много на свѣтѣ, только въ разныхъ мѣстахъ разные порядки. А въ этомъ городѣ порядки мнѣ знакомы: у меня есть тамъ знакомые, и я скоро попаду на мѣсто, и Лизаветѣ можно тамъ скорѣе найти мѣсто. Ну, а если не понравится тамъ, накоплю денегъ и дальше пойду: не все же и тамъ злые люди живутъ».

На заработанныя деньги Пелагея Прохоровна сперва покупала муки, крупы и мяса; но трудно было сводить концы съ концами, то есть разсчитывать такъ, чтобы денегъ достало до работы, и потому она стала отказывать себѣ въ мясѣ и рубль тянула на полторы недѣли. Степанида Власовна, получивъ деньги, со своей стороны старалась что-нибудь состряпать, сварить, но Пелагея Прохоровна удерживала ее, говоря:

— Мы, Степанида Власовна, не померли же и

съ рѣдьки да съ хлѣба. А безъ горохова-то киселя проживемъ.

— Полно-ко толковать-то! Мнѣ развѣ не обидно, что ты насъ кормишь!

— А ты не трать деньги на кисели да на вотрушки,—глядишь, дня три и впереди.

Степанида Власовна такъ и не пекла, и ничего не варила. Только тогда и варились щи, когда Панфилъ приносилъ самъ мяса.

Панфилъ по цѣлымъ днямъ жилъ на промыслахъ, зарабатывая отъ десяти до двадцати копеекъ. На хлѣбъ у него выходила половина этой суммы, а если ему удавалось украсть рыбы, то его угощали и хлѣбомъ. Въ двѣ недѣли онъ могъ накопить очень немного денегъ, которыя и ушли на покупку большихъ старыхъ сапоговъ, хозяинъ которыхъ уже не нуждался въ нихъ, такъ какъ, получивши порядочный заработокъ, купилъ себѣ другіе; но и эту обновку нужно было починить, и Панфилъ опять копилъ цѣлую недѣлю деньги на починку сапогъ, а остатокъ употребилъ на угощеніе своей сестры въ воскресенье. Рабочіе удивлялись терпѣнію молодого Горюнова, называя его желѣзнымъ человѣкомъ, старались выпросить у него денегъ, приглашали его пить по вечерамъ въ трактирахъ чай; но Горюновъ денегъ не давалъ никому съ той поры, какъ его обманули двое рабочихъ: они обѣщали отдать ему долгъ при полученіи разсчета, но тогда къ нимъ явились другіе кредиторы, которымъ они были должны давно, и не пять и не десять копѣекъ. Впрочемъ Панфилъ не отказывался отъ посѣщенія харчевенъ; ему, напротивъ, нравилось быть тамъ, гдѣ происходили оживленные споры, ссоры, а иногда и драки. Тамъ онъ садился въ уголъ и изъ угла вслушивался въ разговоры рабочихъ, которые ставили послѣднюю копейку ребромъ, хвастаясь тѣмъ, что у нихъ, благодаря Бога, руки здоровы и они впередъ могутъ заработать и больше этого. Ему нравилось слѣдить за хозяиномъ харчевни или хозяйкой и подручнымъ, какъ тѣ наливали неполныя рюмки водки и присчитывали на посѣтителей деньги. Его удивляло то, что эти семейные рабочіе почти все свободное время проводятъ въ питейныхъ домахъ, посѣщая непремѣнно одинъ какой-нибудь кабакъ или одну харчевню, пропиваютъ иногда свои халаты, сапоги, жалуясь въ то же время на обманы начальства и на судьбу, обременившую ихъ большими семействами, отъ которыхъ дома нѣтъ никакого покоя. Въ этихъ заведеніяхъ онъ между прочимъ замѣтилъ еще и то, что сельскіе уроженцы хвастались передъ пришлыми своею удалью, смышленностью и какимъ-то благородствомъ; они ненавидѣли пришлыхъ за то, что тѣ отнимаютъ у нихъ заработокъ, и лишь только въ какомъ-нибудь заведеніи сойдутся пришлые съ коренными—быть дракѣ, которая впрочемъ заканчивается тѣмъ, что одна которая-нибудь сторона угощаетъ другую. Мало этого, Горюновъ замѣтилъ, что и коренные не живутъ въ ладахъ. Не говоря уже о томъ, что въ кабакахъ происходятъ драки между рабочими разныхъ варницъ, принадлежащихъ разнымъ хозяевамъ,—и въ домахъ на именинахъ или въ праздники, когда рабочіе идутъ въ гости въ ту часть села или въ то село, гдѣ празднуется церковный престолъ, и тамъ дѣло безъ драки не оканчивается, хотя и начинается дружно. Поэтому немудрено, что Панфила, который не угощалъ никого ничѣмъ, курилъ табакъ на чужой счетъ и былъ не прочь выпить на чужой счетъ пива, браги или водки, крѣпко недолюбливали рабочіе, и когда дѣло доходило до ссоры и драки, его постоянно выгоняли. Панфилъ ничего не могъ подѣлать съ пьяными; защитниковъ за него не было изъ среды тѣхъ, съ которыми онъ работалъ вмѣстѣ, потому что въ компаніи всѣмъ хотѣлось разбѣсить заводскаго выродка, который стихи сочиняетъ, то есть думаетъ; но на другой день, когда рабочіе являлись на работы съ больными головами, онъ все накипѣвшее въ немъ за ночь зло старался выместить на нихъ.

— Что, пьяная рожа! Болитъ голова-то. Опохмелиться хошь!—И Панфилъ показывалъ рабочему пятакъ.

Рабочій впивался глазами въ монету и чесалъ голову.

— Что, небось, пропилъ всѣ деньги! Ишь, женины башмаки надѣлъ...

— Молчи!.. Убью!! У! чтобъ тѣ околѣть!—ругался рабочій и кидался на Горюнова; но тотъ убѣгалъ.

Немного погодя, Горюновъ опять дразнилъ рабочаго.

— Хочешь опохмелиться?

Рабочій молчалъ.

— Трещитъ голова-то!—И Горюновъ приготовлялся бѣжать, слѣдя за движеніемъ членовъ своего врага.

— Послушай...

— А ты возьми да скушай!—И Горюновъ отвертывался или бѣжалъ, смотря по тому, замахивался на него врагъ или бросался къ нему.

Случалось, Панфилъ покупалъ водки косушку, разбавляя ее водой и насыпая въ посуду для крѣпости немного махорки. Въ этомъ случаѣ онъ показывалъ стклянку.

— Видишь?

Рабочій подходилъ къ Горюнову и хотѣлъ вырвать стклянку, но тотъ отвертывался.

— Вода!—говорилъ рабочій, не вѣря мальчишкѣ.

— Понюхай!

— Да дай въ руки...

— Нѣтъ, ты изъ моихъ рукъ понюхай.

Рабочій нюхалъ.

— Доволенъ ли?

— Панфилъ Прохорычъ!.. А... Дай... чуточку!..—И рабочій начиналъ плевать.

— А! Тутъ дакъ Панфилъ Прохорычъ!... А вчера кто меня вытолкалъ?

— Не буду. Пьянъ былъ... Все тебѣ отдамъ,—дай испить.

Но Горюнову было невыгодно отдать стклянку одному рабочему. Онъ начиналъ травить двухъ или трехъ рабочихъ и, отдавъ имъ стклянку, получалъ за нее хлѣба, котораго и доставало ему дня на два, на три. Деньги онъ хранилъ въ извѣстномъ

только ему одному мѣстѣ, потому что при себѣ ихъ имѣть было опасно, такъ какъ рабочіе къ вечеру всегда приставали къ нему, а ночью нерѣдко онъ просыпался отъ производившихся кѣмъ-нибудь обысковъ въ его одеждѣ.

Въ субботу онъ забиралъ остатокъ денегъ, бралъ одно или два толстыхъ полѣна, которыя обвязывалъ веревкой, и несъ на плечѣ до квартиры Пелагеи Прохоровны. И если онъ шелъ рано, то заходилъ на рынокъ и покупалъ муки и мяса. Приходу его всѣ были рады не потому, что онъ былъ рѣдкій гость, но съ его приходомъ появлялись щи, и воскресенье проводилось весело. Если же и въ воскресные дни случались работы въ варницахъ, то Горюновъ не пропускалъ и этихъ дней, и тогда отдавалъ деньги сестрѣ на кушанье, и шелъ на работу, надѣясь получить за нее вдвое больше, чѣмъ въ будни.

Первые дни Пасхи Пелагея Прохоровна и Григорій Прохорычъ провели вмѣстѣ. Какъ у всѣхъ православныхъ, и у нихъ былъ сыръ и состряпанъ куличъ на заработанныя деньги Степаниды Власовны, Горюнова и Мокроносовой. Лизавета Елизаровна начала поправляться, такъ что могла ходить по избѣ, и подумывала послѣ Пасхи выйти на промысла, но она все-таки была слаба. На третій день Пасхи нашимъ пріятельницамъ опять-таки нечего было ѣсть. Всѣ кромѣ Лизаветы Елизаровны пошли искать работы; но на промыслахъ работы не было, потому что начальство только-что раскучивалось. Рѣшено было общимъ совѣтомъ, во что бы то ни стало, продать корову, которая еле двигала ногами, но за нее давали мало, потому что время было такое, что ни у кого не было денегъ. Кое-какъ продали ее за пять рублей. Но когда появилось столько денегъ, Степанида Власовна первымъ долгомъ отправилась въ кабакъ и хватила водки, до которой она уже давно не дотрогивалась, а выпивши водки, пошла на рынокъ и купила двѣ пары ботинокъ—себѣ и Пелагеѣ Прохоровнѣ и опять спрыснула эту обнову, такъ что домой пришла пьяная и принесла всего только два рубля.

— Будто ты никогда не имѣла большихъ денегъ? Никитка помираетъ, а ты пьешь. Не сама ли ты жалѣла, что мы напрасно купили поросенка?.. А тутъ, какъ добралась до водки, и напилась!

— Виновата... Мои деньги, потому и выпила.

— Придется, вѣрно, мнѣ уйти отъ васъ.

— И съ Богомъ, матушка. Хоть сейчасъ. Эдакое вѣдь сокровище!

И Степанида Власовна долго ворчала, высказывая то, что она сама себѣ указчикъ и очень будетъ рада, если Пелагея Прохоровна уйдетъ отъ нея; что вся эта бѣдность происходитъ отъ нея, такъ какъ раньше съ Ульяновыми еще не случалось такой напасти. Но утромъ Степанида Власовна стала извиняться передъ Пелагеей Прохоровной, прося ее забыть все то, что̀ она наговорила пьяная, и даже отдала всѣ деньги на храненіе Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Трудно было Пелагеѣ Прохоровнѣ придержать деньги. Степанидѣ Власовнѣ было скучно, и она къ вечеру же стала просить у нея десять копеекъ на куделю. Кудели не купила, а пришла домой выпивши, а такъ какъ она не была пьяна, то ей было совѣстно передъ Пелагеей Прохоровной, и она молча легла спать. На другой день она выпросила тридцать копеекъ на ленъ, сказавъ, что она куделю забыла у какой-то женщины. Панфилъ вызвался сестрѣ—слѣдить за Ульяновой и, вернувшись домой часа черезъ два, сказалъ, что Степанида Власовна дѣйствительно заходила въ одну лавку, но оттуда вышла безъ льна, и потомъ, купивъ два калача, отправилась въ харчевню. Домой она пришла на другой день немного выпивши и, подавая Пелагеѣ Прохоровнѣ и Лизаветѣ Елизаровнѣ крендельки, сказала:

— А льну-то я опять не купила: попалась мнѣ Безукладникова и говоритъ: «нынѣ богата стала, нѣтъ, чтобъ должокъ отдать». Ну, я взяла и отдала.

Обѣ женщины промолчали и молили Бога, чтобы скорѣе прошли праздники. Сосѣди тоже узнали, что у Ульяновой появились деньги, и отъ нихъ отбою не было: одна просила гривну, другая крупы чашку, третья сѣна и т. д. Тѣ, которые пришли раньше другихъ, получили немного денегъ, а отъ другихъ стали запирать двери, потому что денегъ на шестой день Пасхи осталось только двѣ копейки. На восьмой день умеръ Никита.

XIII.

Смерть Никиты опечалила все семейство. Всѣ бѣгали по селу, какъ угорѣлые: Степанида Власовна хлопотала о томъ, чтобы схоронить его даромъ. Но куда она ни приходила—всѣ, отъ гробовщика до могильщика, отказывались оказать какую-нибудь помощь безъ денегъ, ссылаясь на свою бѣдность и на то, что теперь мретъ мало народа. Другое дѣло, если бы мальчишка померъ весной, когда больше мретъ взрослыхъ, тогда можно было бы отъ обрѣзковъ сколотить гробъ для мальчишки и заодно уже отпѣть даромъ и по пути вырыть для него яму. Пелагея Прохоровна ходила къ начальству, прося его о пособіи, но оно сказало, что мальчишка ничѣмъ не заявилъ себя такимъ, чтобы на похороны его можно было ассигновать отъ управленій какую-нибудь сумму, къ тому же мальчишка—не важная особа; другое дѣло, если бы онъ былъ сынъ какого-нибудь смотрителя или хоть писаря, тогда можно бы выдать родителямъ пособіе. Успѣшнѣе были хлопоты Панфила Прохорыча. Хотя онъ былъ и не очень краснорѣчивъ, но все-таки сумѣлъ убѣдить рабочихъ въ томъ, что Ульяновой нечѣмъ хоронить сына. Рабочіе поворчали, поворчали и все-таки отъ помощи не отказались: одинъ сколотилъ изъ старыхъ досокъ гробъ, другой вызвался ему выкопать могилу, причемъ безъ драки съ кладбищенскимъ сторожемъ не обошлось, а на похороны пожертвовали, кто сколько могъ: кто копейку, кто грошъ.

Схоронили Никиту. Въ квартирѣ точно кого недоставать стало. Давно уже въ ней никто не хохоталъ громко, а теперь и разговаривали не громко: всѣхъ словно что-то давило.

— Что это какъ долго нѣтъ нынче работы? Ахъ, какъ бы я рада была, если бы только поскорѣе открылась для бабъ работа. Я бы и ледъ колоть пошла на рѣкѣ,—говорила Лизавета Елизаровна.

— А я все думаю: куда бы мнѣ пристроить Марью. Ужъ я давно хожу по селу—никому не надо. Ужъ я бы даромъ отдала,—говорила Степанида Власовна.

— Конечно, нужно отдать даромъ, только я бы не совѣтовала тебѣ отдавать, потому я и Лизавета пойдемъ въ городъ.

— Куда въ городъ?

— Ужъ это мое дѣло. Въ городѣ гораздо будетъ лучше, потому что тамъ по крайней мѣрѣ будемъ сыты и квартира будетъ теплая.

— Въ самомъ дѣлѣ!.. И отчего это ты мнѣ раньше не сказала? А далеко?

Пелагея Прохоровна сказала и объявила, почему она дожидается лѣта.

— Я бы давно ушла, только подумай: могу ли я, ободранная и босая, идти... А лѣтомъ мы туда всегда найдемъ попутчиковъ... Однихъ богомольцевъ сколько ходитъ по большой дорогѣ, только бы выйти на нее.

— Такъ и я съ вами пойду. Только какъ съ Марьей-то?

— Надо весны дожидаться. Вотъ какъ будутъ грузить коломенки, тогда мы накопимъ денегъ. Только ты, мамонька, ради Христа не пей.

— Вотъ тѣ Христосъ! провалиться мнѣ, чтобы я стала пить.

— А Машу мы тамъ можемъ легко пристроить. Тамъ она можетъ мастерству обучиться.

— Дай бы ты, Господи!

И всѣ стали ждать тепла; даже Маша надоѣдала всѣмъ, спрашивая: «а скоро ли мы пойдемъ далеко-далеко?»...

Панфилъ одобрялъ эти намѣренія и разсказалъ сестрѣ, что онъ въ городъ ни за что не пойдетъ, и что онъ уже надумалъ идти въ м—скій заводъ и только дожидается лѣта, когда онъ можетъ даромъ доплыть туда съ барками. Пелагея Прохоровна задумалась.

Панфилъ Прохорычъ не говорилъ ей раньше о своемъ намѣреніи идти туда же, куда ушелъ Короваевъ и Григорій Прохорычъ. Она думала, что м—скій заводъ ничѣмъ не отличается отъ другихъ ей извѣстныхъ заводовъ, и хотя ей нерѣдко приходилось слыхать похвалы о м-скомъ заводѣ, куда будто бы со всѣхъ сторонъ стекаются рабочіе, потому что тамъ производятся какія-то спѣшныя постройки, но Пелагея Прохоровна замѣчала, что тѣ, которые говорили объ этомъ, не трогались съ мѣста, а жили попрежнему въ селѣ, и ей казалось, что эти люди говорятъ объ этомъ для того, чтобы соблазнить молодежь и простыхъ людей. Пелагея Прохоровна любила Панфила за то, что онъ не грубилъ ей и всегда старался ей чѣмъ-нибудь угодить; въ городѣ онъ навѣщалъ ее чаще Григорія и иногда приносилъ даже лакомства. Здѣсь, кромѣ его, у нея не было родни, и съ нимъ ей было все-таки веселѣе, такъ какъ они другъ друга понимали, другъ другу сочувствовали. Вдругъ ей пришла въ голову мысль: не получилъ ли братъ письма изъ М... Стала она отъ него выпытывать объ этомъ, но тотъ божился, что онъ идти туда давно задумалъ, напрашивался идти даже съ Григоріемъ, но Григорій его не взялъ. Онъ говорилъ, что Короваевъ не спроста ушелъ туда, и если ничего не пишетъ ей, такъ можетъ быть потому, что копитъ деньги.

— А мы, Пелагея, пойдемъ туда вмѣстѣ.

— Нѣтъ; ужъ я туда не пойду. Лучше ужъ здѣсь остаться, чѣмъ туда идти: здѣсь по крайней мѣрѣ для бабъ работа есть, а въ заводѣ, подумай, какая можетъ быть бабамъ работа?

— А если Короваевъ женится на тебѣ?

— Что мнѣ на шею ему вѣшаться? Ужъ пожалуйста не говори мнѣ про него.

Такъ братъ и сестра и не стали говорить больше ни о Короваевѣ, ни о походѣ въ разныя мѣста, но оба все-таки думали о м-скомъ заводѣ. Стала Пелагея Прохоровна ворожить въ карты на трефоваго короля: все выпадаютъ дороги да печаль на сердцѣ, а письма нѣтъ...

Наконецъ прошелъ ледъ; вода на обѣихъ рѣкахъ прибывала по часамъ и заливала прибрежныя сельскія улицы такъ, что въ нихъ плавали на лодкахъ. Широко разлились рѣки, но цѣлымъ днямъ дулъ холодный вѣтеръ и бурлила вода. Погода стояла сырая; вездѣ было грязно, мрачно; зато на набережныхъ происходила дѣятельная работа. Тамъ съ утра до вечера грузили въ коноводки соль, скрѣпляли бревна въ плоты, на плоты складывали дрова, причаливали другіе плоты съ дровами или съ камнемъ, преимущественно точильнымъ. Въ это время только одни богатые люди, сидя на балконахъ своихъ домовъ, любовались широкимъ разливомъ рѣкъ и дѣятельностью людей на пристаняхъ, рабочій же классъ старался какъ можно болѣе заработать денегъ, рѣдко останавливаясь, чтобы выправить свои члены изъ согнутаго положенія, часто бѣгая къ водѣ, чтобы напиться, и на ходу закусывая. Зато вечеромъ многіе изъ рабочихъ, мужчинъ и женщинъ, садились на набережныя и затягивали свои грустныя пѣсни.

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ Пелагея Прохоровна сидѣла съ Лизаветой Елизаровной и ея матерью отдѣльно отъ другихъ рабочихъ. Всѣ три женщины, уперши руками головы, смотрѣли на волны, высоко поднимающіяся и съ шумомъ разбивающіяся о набережныя. Онѣ уже вдосталь наговорились о томъ, какъ имъ лучше сдѣлать насчетъ жилья. Ульяновы уговаривали теперь Пелагею Прохоровну остаться съ ними до осени, потому что лѣтомъ на промыслахъ больше работы, чѣмъ зимой, и Пелагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать, потому что она получала заработка по тридцати коп. въ день. Но, несмотря на этотъ заработокъ, у всѣхъ было тяжело на душѣ, всѣмъ чего-то хотѣлось, но чего—онѣ не могли себѣ объяснить. Имъ хорошо казалось сидѣть здѣсь, хотя вѣтеръ и дулъ прямо въ лицо. Недалеко отъ нихъ рабочіе, мужчины и женщины, голосовъ въ двѣсти поютъ-тянутъ промысловую пѣсню, словъ которой вдали почти невозможно понять. Сердце надрывается отъ этой пѣсни, хочется другой жизни; въ этомъ плескѣ волнъ какъ будто слышится отзывъ, что лучшая жизнь есть. Но гдѣ она?

*

«Нѣтъ ужъ, я пойду въ городъ», подумала Пелагея Прохоровна, и ей такъ сдѣлалось горько, что изъ глазъ закапали горячія слезы, но она постаралась поскорѣе вытереть ихъ.

— Пелагея! Гляди, что-то бабы и мужчины въ кучу собрались,—сказала ей Лизавета Елизаровна, тронувъ за плечо.

Никто не пѣлъ. Рабочіе столпились въ одну кучу и галдѣли. Пріятельницы подошли туда.

— Ишь ловокъ! Пѣсни наши, говоритъ, нравятся... Спой ты ему веселую?!—галдѣли рабочіе.

— Небось даромъ хочетъ?—кричали женщины.

Скоро мужчины и женщины разошлись, разсуждая о томъ, какъ управляющій егорьевскими промыслами подошелъ къ рабочимъ и сталъ просить ихъ спѣть веселую пѣсню и тѣмъ нарушилъ ихній спокой, потому что они пѣли отъ души. А пѣть на заказъ никому не хотѣлось даромъ, да и что за пѣнье на заказъ, когда на душѣ не весело!

Дома Ульяновы застали Панфила Прохорыча съ какимъ-то пожилымъ человѣкомъ, сидѣвшимъ за столомъ въ ситцевой рубахѣ и молча курившимъ изъ трубки махорку. Гость поклонился вошедшимъ и сказалъ:

— Елизаръ Матвѣичъ приказалъ кланяться.

Начались разспрашиванья.

Оказалось, что мужчина пришелъ сюда нарочно изъ удойкинскихъ пріисковъ, на которыхъ работали Ульяновъ и Горюновъ. Ульяновы очень обрадовались ему. Обрадовалась и Пелагея Прохоровна.

— А дядю нашего видаешь?—спросила она.

— Какъ не видать. Вмѣстѣ робили, только онъ нонѣ все больше особо отъ Ульянова.

— Хорошо ли тамъ?—спрашивали гостя.

— Ничего, жить можно. Только глушь! Съ одной стороны кержаки, съ другой—лѣсъ да горы, да звѣри... Всякъ себѣ хозяинъ, потому хоть и есть начальство, только мы на него и вниманія не обращаемъ.

— Такъ ты неужели нарочно причелъ?—спросила Степанида Власовна, совсѣмъ растерявшись и утирая глаза. Она уже успѣла поблагодарить Бога, что мужъ ея здоровъ и ему тамъ можно жить.

— Далъ слово, такъ надо исполнить. И такъ крюкъ, почитай, двѣсти верстъ далъ.

Хозяйка не знала, съ чего и начать разспрашивать гостя, да и ее предупреждали остальные, которые то и дѣло спрашивали его то объ Ульяновѣ, то о Горюновѣ. Гость отвѣчалъ отрывочно. Изъ словъ его хозяева узнали, что на пріискахъ хорошо и Ульянову, и Горюнову, потому что они служатъ казаками, но Горюнову лучше, такъ какъ онъ кержакъ и друженъ больше съ кержаками (то есть раскольниками).

— А что, хозяйка, угости-ко меня водочкой, да нѣтъ ли у те жаренова мочалка?

Степанида Власовна начала плакаться на свою жизнь и разсказывать о томъ, какъ по милости Машки Оглоблиной у нея отняли домъ, но не спросила его: не видать ли Оглоблиной на пріискахъ.

— Неужели у васъ ни у кого нѣту денегъ? А я вамъ грамотку привезъ отъ Ульянова.

Степанида Власовна вскрикнула отъ радости. Гость не торопясь вытащилъ изъ-за голенища что-то завернутое въ тряпицу, не торопясь развязалъ тряпицу, развернулъ засаленную бумагу и подалъ хозяйкѣ. Дрожащими руками взяла Степанида Власовна письмо, перекрестилась и стала вертѣть его въ рукахъ.

— Что, небось рада! Небось еще не такъ обрадуешься, какъ деньги получишь!

— Что ты... Деньги?

— Да. Ульяновъ велѣлъ дать тебѣ пять цѣлковыхъ и расписку ему представить. Умѣетъ ли кто грамотѣ-то?

— Да мы по церковному, — сказала Пелагея Прохоровна и Панфилъ Прохорычъ.

— Ну, а я только цифры и умѣю писать. Подемте къ грамотѣямъ.

Немного погодя, всѣ вышли во дворъ, сѣли въ лодку и подплыли къ одной харчевнѣ, въ которой хозяинъ, по отсутствію гостей, уже ложился спать.

Черезъ четверть часа хозяинъ, надѣвши огромныя очки въ мѣдной оправѣ, прочиталъ слѣдующее:

«Дражайшей моей супругѣ и сожительницѣ, Степанидѣ Власовнѣ, свидѣтельствую мое нижайшее почтеніе, съ пожеланіемъ добраго здравія и въ дѣлахъ хорошаго успѣха. Наипаче же здравія тѣлеснаго и душевнаго. Дочери моей Лизаветѣ Елизаровнѣ посылаю мое родительское благословеніе, на вѣки нерушимое, каковое посылаю Степану, Никитѣ и Маріи и всѣмъ по поклону. Съ сей вѣрной оказіей посылаю вамъ денегъ пять рублей. Прошу ихъ беречь и на меня не разсчитывать, потому мы всѣ подъ Богомъ ходимъ, а наипаче на пріискахъ того и бойся, чтобы черемисъ, али татаринъ, али какой бѣглый каторжникъ не укокошилъ тебя. Нижайшее мое почтеніе и поклонъ Пелагеѣ Прохоровнѣ и братцу ея родному Григорію Прохоровичу. При сей вѣрной оказіи Терентія Иваныча здѣсь нѣтъ, а хотѣлъ написать. Живите хорошенько. Больше всего уповайте на Бога. О себѣ скажу, что мы съ Терентіемъ Иванычемъ ссоримся рѣдко и довѣренный намъ благоволитъ. Хорошо бы Степку имѣть при себѣ, да далеко. Отъ сего письма остаюсь живъ и здоровъ.

Ульяновъ».

Слушая это письмо, Степанида Власовна плакала, прочіе смотрѣли на лицо читающаго. Когда хозяинъ кончилъ чтеніе и свернулъ бумагу, Степанида Власовна попросила его повторить, но хозяинъ отказался отъ повторенія, потому что его интересовала пріисковая жизнь, и онъ, наливъ принесшему письмо стаканъ водки, сталъ его разспрашивать о пріискахъ.

Степанида Власовна взяла у хозяина полштофъ водки и кусокъ семги домой. Она хотѣла угостить дома, да и самой ей хотѣлось выпить, въ харчевнѣ же никто не хотѣлъ оставаться, потому что отъ нея до квартиры нужно было плыть на лодкѣ, которую между тѣмъ могли украсть. За водкой гость разговорился съ хозяйкой и между прочимъ высказалъ, какъ ближе идти на пріискъ, потому

что Степанида Власовна, узнавшая, что на пріискахъ очень мало бабъ, изъявила желаніе идти на пріискъ и это желаніе гость одобрилъ. Панфилъ Прохорычъ сидѣлъ недалеко отъ нихъ молча; его весьма занимали слова гостя, который рисовалъ пріисковую жизнь съ хорошей стороны, и ему захотѣлось, во что бы то ни стало, идти туда скорѣе.

Гость вынулъ изъ-за пазухи рубашки бумажникъ, завернутый въ тряпку, и вынулъ изъ него пачку ассигнацій. Степанида Власовна ахнула, увидя столько денегъ.

— Это, тетка, не мои деньги: тутъ хозяевъ много. Видишь ли, я сбывалъ крупку и получалъ деньги. Только вы смотрите—молчокъ! Потому тутъ и ваши главы имѣютъ часть.

Панфила Прохорыча трясло при видѣ такой кучи денегъ. Гость вынулъ пятирублевую бумажку и подалъ ее хозяйкѣ.

— Дай мнѣ бумажку!—сказалъ дико Панфилъ Прохорычъ.

— Да стоишь ли ты еще бумажки-то? — проговорилъ смѣясь гость.

— Право, дай. Дядя заплатитъ.

— Да тебѣ на что?

— Я на пріиски пойду.

— А медвѣдей не боишься?

— Чего бояться? Видалъ.

Но гость не далъ денегъ Панфилу, а завязалъ ихъ крѣпко и спряталъ опять на грудь, подъ рубашкой. Всю ночь Панфилъ не могъ уснуть. Ему хотѣлось украсть у гостя бумажникъ, но гость хотя и крѣпко спалъ, а при каждомъ прикосновеніи руки Панфила, переворачивался на другой бокъ и сжималъ на груди которую-нибудь руку. Рано утромъ гость распрощался съ хозяевами.

— Дядя! Возьми меня, — упрашивалъ гостя Панфилъ.

— Воровать не умѣешь. Ты думаешь, что я не чувствовалъ, какъ ты ночью около меня шарился. Ну, да что объ этомъ говорить.

И гость ушелъ. Хозяйка очень радовалась неожиданной получкѣ денегъ, а когда она явилась на промысла, тамъ уже всѣ знали о полученіи ею денегъ и приставали съ разспросами о мужѣ. Панфилъ не пошелъ на промысла. Онъ цѣлый день ходилъ по рынку и въ харчевни, надѣясь найти пріисковаго рабочаго и уговорить того взять его съ собой. Къ вечеру онъ увидалъ его выходящимъ изъ одного полукаменнаго дома.

— Дядя! Возьми.

— Куда я тебя возьму?

— Я тебя поблагодарю послѣ.

— Что мнѣ твоя благодарность! Взять я тебя не могу съ собой, а коли хошь, дорогу могу указать. Согласенъ?

— Я и одинъ пойду.

— Ну, ладно, коли у те есть такая охота. Пойдемъ.

Рабочій зашелъ въ питейный, разсказалъ Панфилу, какъ идти до такого-то города, изъ этого города до такого-то села, а въ селѣ всякій знаетъ дорогу на удойкинскій пріискъ, потому что рабочіе закупаютъ въ немъ провизію.

— Есть ли у тебя деньги-то?

— Немного.

— Ну, я тебѣ дамъ пожалуй пять рублей подъ расписку.

Горюновъ поблагодарилъ. Содержатель кабака написалъ расписку за Горюнова и подписался за него. Рабочій угостилъ водкой хозяина и Горюнова, разговаривая о чемъ-то шопотомъ съ хозяиномъ. Выпивши водки и посидѣвши съ четверть часа съ рабочимъ, Горюновъ болталъ безъ умолку, ругалъ здѣшнюю жизнь, благодарилъ рабочаго за то, что онъ указалъ ему дорогу на золотые, лѣзъ цѣловаться съ нимъ и хотѣлъ угостить его, но тотъ поставилъ ему еще косушку, вышелъ ненадолго на улицу и потомъ уже не являлся.

Горюновъ раскутился. Къ вечеру стали появляться рабочіе, онъ хотѣлъ угостить ихъ водкой, но хозяинъ давалъ пятирублевой его бумажкѣ цѣну только рубль, доказывая, что эта бумажка фальшивая. Горюнова вытолкали изъ кабака—до того онъ сдѣлался назойливъ.

Утромъ онъ объявилъ сестрѣ, что идетъ къ дядѣ; сестра посмѣялась надъ нимъ, думая, что онъ шутитъ. Горюновъ обругалъ сестру и пошелъ покупать сапоги. Купивши сапоги, онъ пошелъ купить платокъ сестрѣ; но въ лавку вошелъ хозяинъ кожевеннаго товара и крикнулъ на него:

— Ты гдѣ это научился фальшивыя бумажки стряпать?

Горюновъ поблѣднѣлъ, но не обернулся.

— Тебѣ говорятъ?

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ хозяинъ лавки.

— Да вотъ я ему продалъ сапоги за два рубля. Онъ и даетъ пятирублевую. Я со слѣпа-то не разглядѣлъ, передалъ племянницѣ, та и дала ему сдачи, а какъ ушелъ онъ, я и сталъ разглядывать, и сравнилъ съ своей бумажкой. Смотри!—И онъ показалъ бумажку лавочнику.

— Сс!.. Фальшивая и есть!—проговорилъ лавочникъ.

— Самъ накопилъ фальшивыхъ,—началъ было Панфилъ, но его ударилъ въ спину хозяинъ лавки, такъ что онъ выскочилъ на улицу и пустился бѣжать.

— Держите! Ловите! — кричали оба лавочника.

Горюнова остановили; около него собралась куча народа. Продавшій сапоги разсказалъ, въ чемъ дѣло, съ прикрасами.

— Не давалъ я ему фальшивой бумажки.

— Ахъ ты, песъ!.. А сапоговъ ты тоже не покупалъ?

— Я за другія...

— А откуда ты взялъ такую бумажку?

Толпа между тѣмъ росла.

— Э! Да это тотъ и есть, что вчера у Евстигнеева Бориса въ кабакѣ былъ! Онъ и есть. Ведите его въ полицію! За это я отвѣчаю! Я у него вчера видѣлъ фальшивую пятирублевку.

Горюнова стали бить и отправили въ полицію. Горюновъ рѣшительно ничего не понималъ, по-

павши въ полицію. Ругательства, остроты сыпались на него со всѣхъ сторонъ, такъ что онъ никакъ не могъ обдумать, что ему сказать, зная, что онъ ни въ чемъ не виноватъ.

Стали его допрашивать; явилось много свидѣтелей, которые показывали на него различно. На первыхъ порахъ Горюновъ хотѣлъ отдѣлаться одними словами: «ничего не знаю. Сапоговъ не покупалъ». Словомъ, Горюновъ одурѣлъ совсѣмъ, ему не давали одуматься, и только подъ розгами и заставили его сказать, что бумажку онъ получилъ отъ рабочаго съ удойкинскихъ пріисковъ при сидѣльцѣ. Этимъ сознаніемъ и закончили первые допросы и не тревожили его больше двухъ недѣль. Хотя онъ и былъ посаженъ въ секретную, но въ этой комнатѣ вмѣстѣ съ нимъ заключалось нѣсколько мужчинъ и женщинъ, которыхъ некуда ужъ было посадить. Большинство его товарищей состояло изъ мелкихъ воровъ, представленныхъ сюда сельскими состоятельными людьми, изъ бродягъ и лицъ непомнящихъ родства,—такихъ людей, которымъ или нечего было ѣсть, или которые искали себѣ различными способами лучшей, свободной жизни. Онъ съ перваго же дня не могъ ни въ чемъ сойтись съ ними, не могъ отличить изъ нихъ ни одного человѣка, съ которымъ бы можно было поговорить; но насмѣшки ихъ надъ нимъ, издѣванья надъ его простотою, заставляли его огрызаться съ ними, ругаться и даже драться. Короче сказать, ни Горюновъ не понималъ своихъ товарищей, ни они не понимали Горюнова.

Скука была невыносимая Панфилу среди этихъ товарищей. Онъ проклиналъ свою жизнь, а равно дядю за то, что тотъ уговорилъ его придти сюда, плакалъ; но все-таки, не считая себя виновнымъ, думалъ, что не долго проживетъ въ этомъ адѣ, и всячески старался избѣгать товарищества, лежа то подъ лавкой, то сидя въ углу съ закрытымъ ладонями лицомъ. Много ему привелось увидать тутъ различныхъ сценъ, много такого, чего онъ не видалъ до сихъ поръ, но ему некуда было дѣваться, да и его часто сталкивали съ мѣста, и онъ очень обрадовался, когда его вывели на свѣжій воздухъ.

— Панфилушко! Что ты надѣлалъ?—спрашивала сестра, увидавшая его выходящимъ подъ стражею изъ полиціи.

— Ничего не знаю,—отвѣчалъ братъ.

— Правда ли, говорятъ, что ты убилъ того рабочаго, который былъ у насъ?

— Врутъ.

Тѣмъ и кончилось свиданіе и разговоры брата съ сестрой, потому что Горюнова торопили къ слѣдователю. Черезъ двѣ недѣли ему однако удалось ночью убѣжать изъ полиціи. Зашелъ онъ къ сестрѣ, но Пелагея Прохоровна, какъ сказала Лизавета Елизаровна, уже ушла въ городъ. Панфилъ вышелъ изъ воротъ бывшаго ульяновскаго дома и задумался: куда ему идти теперь? Ни въ селѣ, ни на промыслахъ ему нельзя показаться,—тамъ его схватятъ. Оставалось одно: наняться на плоты, и онъ пошелъ туда; но плоты хотѣли пустить черезъ день, а днемъ его увидалъ одинъ промысловой рабочій—и его свели обратно въ полицію. Началось новое слѣдствіе о побѣгѣ Панфила и продолжалось съ мѣсяцъ, въ теченіе котораго онъ уже сталъ привыкать къ этой жизни. По окончаніи слѣдствія его повели съ другими арестантами въ городъ, но дорогой онъ захворалъ и только черезъ полтора мѣсяца, пришедши въ чувство, узналъ, что находится въ тюремномъ лазаретѣ.

Жизнь въ лазаретѣ ему казалась лучше полицейской, потому что онъ лежалъ на отдѣльной койкѣ, могъ ходить по комнатѣ, сидѣть, не мѣшая другимъ насмѣхаться надъ солдатами, караулившими у дверей больныхъ арестантовъ. Въ извѣстное время ему приносили пищу и лекарства. Сперва его пугали трудно больные, скоро умирающіе арестанты, за которыми уже не было никакого надзора и которыхъ ничѣмъ не лечили, пугали операціи, докторъ, производившій эти операціи; но потомъ онъ привыкъ и скоро отличилъ фельдшера отъ лекаря, находя, что въ фельдшерѣ больше силы, чѣмъ въ лекарѣ, потому что фельдшеръ можетъ выписать больного въ тюрьму, куда идти никому не хотѣлось. Въ палатѣ были всякіе больные, судимые и судящіеся за разныя преступленія, которые часто смѣнялись новыми, такъ что Горюновъ ежедневно боялся, чтобы и его не выписали. Но въ палатѣ были такіе больные, которые лежали въ ней по цѣлымъ годамъ. Одни изъ нихъ дѣйствительно были больны, другіе выписывались въ тюрьму только дня на три и являлись въ палату со свѣжими новостями. Эти люди находились съ фельдшерами въ дружественныхъ отношеніяхъ. А такъ какъ они почти жили постоянно въ палатѣ, то считали себя чѣмъ-то въ родѣ дядекъ, безъ умолку говорили, насмѣхаясь надъ различными болями, которыя имъ привелось испытать. Ихъ любили больные за шутки и заискивали ихъ расположенія на томъ основаніи, что они иногда держали передъ докторомъ чернильницу. Вотъ къ этимъ-то людямъ и старался подлѣлаться Горюновъ. Несмотря на то, что они казались ему смѣшными и черезчуръ хвастливыми, онъ старался угодить которому-нибудь изъ стариковъ тѣмъ, что подавалъ кружку съ водой. Онъ думалъ, что эти больные—большею частью состоятельные раскольники, обвиняемые въ дѣланіи фальшивыхъ серебряныхъ вещей, жившіе доселѣ въ скитахъ и отправлявшіе обряды по-своему тайно отъ начальства, и что они могутъ много хорошаго сдѣлать для него. Однако, какъ онъ ни ухаживалъ за ними, сколько ни просилъ ихъ о себѣ, они, какъ онъ замѣчалъ, заботились болѣе всего о себѣ, вели себя заносчиво, а къ нему относились, какъ къ ничтожному псу. Это наконецъ стало злить Панфила. И какова же была его радость, когда начальникъ лазарета велѣлъ двухъ изъ нихъ непремѣнно выписать изъ лазарета и больше не принимать, такъ какъ онъ замѣтилъ ихъ уже давно здоровыми. И какъ же злы были эти люди на все и на всѣхъ, надѣвая арестантскія одежды и подставляя ноги для того, чтобы на нихъ надѣли канда-

лы!.. Но послѣ нихъ вскорѣ всѣ стали чувствовать какую-то пустоту, чего-то какъ будто недоставало. И все это произошло отъ того, что, какъ бы надменны ни были старики-лазаретники, при нихъ было какъ-то весело: они умѣли разсказывать разные анекдоты, развлекали больныхъ смѣшными сценами, остротами и т. п. Скучно сдѣлалось и Панфилу: больныхъ много, больные разговаривать не любятъ, выздоравливающіе разговариваютъ или играютъ въ карты, Богъ вѣсть какимъ образомъ попавшія въ лазаретъ; подойдетъ онъ къ нимъ, они его называютъ щенкомъ и гонятъ прочь. Хорошо еще, что сестра, жившая въ это время ужъ въ городѣ, навѣщала его по воскреснымъ днямъ. Она приносила ему сдобныя кушанья, тайкомъ унесенныя отъ барыни, у которой она жила, разсказывала о своихъ господахъ или о томъ, что она уже теперь живетъ на другомъ мѣстѣ, и хотя всѣ эти разсказы и городскія новости сообщались въ теченіе четверти часа, а потомъ въ продолженіе получаса братъ и сестра молчали, все-таки Панфилъ былъ въ тысячу разъ веселѣе при сестрѣ, чѣмъ безъ нея. Но вотъ не пришла сестра въ праздникъ, не пришла и въ воскресенье. Справился онъ объ этомъ, сказали: больно она ужъ смазливая; начальство не приказываетъ пущать. Какъ ни обидно было слышать это брату, но дѣлать было нечего, сестра ужъ больше не показывалась въ лазаретѣ.

На третій день послѣ этого событія къ Панфилу подошелъ пожилой больной. Съ этимъ больнымъ Горюновъ никогда не вступалъ въ разговоры, потому что онъ и самъ почти ни съ кѣмъ не разговаривалъ. Это былъ высокій, худощавый мужчина, съ рыжими курчавыми волосами. Глаза его постоянно принимали серьезный видъ, лицо съ небритыми волосами постоянно, когда онъ сидѣлъ задумчиво, передергивалось множествомъ складокъ. Къ этому надо еще прибавить то, что онъ свои желтыя щеки постоянно утиралъ грязнымъ платкомъ, что даже удивляло докторовъ, которые не находили не только на его лицѣ, но и на всемъ тѣлѣ пота. Онъ говорилъ басомъ, глухо.

— Ты за что сидишь?—спросилъ онъ Горюнова.

Горюновъ молчалъ. Отъ этого вопроса его покоробило: въ самомъ дѣлѣ, за что онъ сидитъ? Горюновъ сознавалъ, что онъ взятъ за фальшивую бумажку и за побѣгъ изъ полиціи, но кому какое дѣло до этого? Этотъ больной разозлилъ его, и онъ закрылъ глаза.

— Что закрываешь глаза-то! Не съѣмъ,—проговорилъ задумчивый больной. Въ палатѣ сдѣлалось тихо.

— Фальшивыя бумажки дѣлаетъ, — сказалъ кто-то.

— Эдакой мальчишка! Ха-ха!

— Сызмалѣтства въ механику пустился!—слышалось съ разныхъ коекъ вперемежку съ хохотомъ.

Серьезный больной присѣлъ на кровать Горюнова. Тотъ не противился этому.

— Нѣтъ, однако?.. Ты вѣдь Горюновъ?.. Про Горюновыхъ я слышалъ,—говорилъ неотвязчивый больной.

Панфилъ со страхомъ глядѣлъ на него; такой у него былъ суровый видъ въ это время.

— Ты кто?—спросилъ неловко Панфилъ неотвязчиваго человѣка.

— Слыхалъ про Никитинскаго письмоводителя Гусева?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ это я... А за что я сижу, про это я знаю. И имъ не удастся меня словить! Не запугаютъ... Нѣ-ѣтъ!.. Трехъ управляющихъ первыхъ плутовъ провелъ... Нѣтъ!!—И лицо Гусева сдѣлалось очень страшно, на щекахъ выступили багровыя пятна.

— Хочешь, я научу тебя писать? — спросилъ вдругъ Гусевъ Панфила.

Но Панфилъ не отвѣчалъ. Гусевъ что-то пробурлилъ и ушелъ отъ него недовольный. Больные стали издѣваться надъ нимъ.

Съ часъ послѣ этого пролежалъ Горюновъ, сердясь сначала на Гусева за то, что онъ можетъ быть съ худымъ намѣреніемъ выспрашивалъ про его дѣло, но потомъ, какъ обыкновенно бываетъ съ молодыми людьми, покинутыми и презираемыми даже тѣми, преступленія коихъ можетъ быть тяжелѣе его, онъ сталъ сожалѣть, что такъ грубо оттолкнулъ человѣка, который его, неопытнаго въ дѣлахъ, можетъ быть хотѣлъ научить. Ему теперь самому хотѣлось поговорить съ Гусевымъ, но какъ заговорить съ нимъ послѣ такого грубаго обращенія? Что̀ скажутъ больные? «Снюхался!» — скажутъ, и станутъ насильно выпроваживать его изъ лазарета.

Весь этотъ вечеръ Панфилъ провелъ мучительно, думая, какъ бы ему поговорить съ Гусевымъ. Да и что это за человѣкъ такой? Кромѣ того, что говорили объ немъ больные, онъ ничего объ немъ не зналъ. Да и больные говорили объ немъ разно, потому что онъ уже давно находится въ больницѣ. А коли давно, значитъ онъ боится попасть въ острогъ, откуда, какъ говорятъ больные, одна дорога: или въ каторгу, или на поселеніе. Одни изъ арестантовъ говорили, что это бывшій писецъ никитинской заводской конторы, и что онъ находился въ бѣгахъ изъ острога нѣсколько лѣтъ, жилъ по фальшивому паспорту и самъ дѣлалъ фальшивые паспорты. Другіе говорили, что онъ обокралъ заводскую контору и составилъ фальшивую расписку подъ руку приказчика и т. п. Однимъ словомъ, общее мнѣніе больныхъ состояло въ томъ, что Гусевъ хорошій мастеръ дѣлать фальшивые билеты.

Между тѣмъ дѣло Гусева было очень простое и вмѣстѣ съ тѣмъ нешуточное. Онъ считался при главной заводской конторѣ писцомъ. По знанію заводскаго дѣла во всѣхъ отношеніяхъ, онъ давно бы могъ получить должность столоначальника, но никакъ не могъ угодить начальству, которое на должности столоначальниковъ опредѣляло или за большія деньги, или свою родню. У Гусева было большое семейство; извлекать доходы онъ ни изъ чего не имѣлъ возможности,потому что сидѣлъ въ такомъ

столѣ, гдѣ никакимъ образомъ не могъ получать ихъ. Вотъ онъ и выдумалъ давать рабочимъ паспорты. Бланки и печать достать ему было плевое дѣло, оставалось только сдѣлать подпись; и это не трудно,—тѣмъ болѣе, что на подписи мало обращаютъ вниманія. Онъ занялся этимъ ремесломъ, и даже возбудилъ со стороны товарищей удивленіе тѣмъ, что скоро обшилъ свой домъ тесомъ, завелъ лошадь и пріобрѣлъ еще одну десятину покоса. Это конечно дошло и до начальства, которое стало допытываться до настоящей причины. И вдругъ получается въ главной конторѣ бумага отъ заводскаго исправника; при бумагѣ приложенъ билетъ отыскиваемаго уже полгода рабочаго. Исправникъ проситъ донести ему, давала ли контора билетъ рабочему, и если давала, то почему она доносила ему раньше, что этотъ рабочій находится въ бѣгахъ? Въ конторѣ забѣгали, стали справляться, сличать почерки рукъ и рѣшили, что это дѣло Гусева, но по случаю именинъ управляющаго его такъ и замяли. Гусевъ съ этихъ поръ сталъ еще осторожнѣе, но товарищи то и дѣло корили его тѣмъ, что онъ постоянно выдаетъ фальшивые билеты и этимъ самымъ наживаетъ много денегъ. Гусеву не давали покоя, Гусева старались согнуть въ бараній рогъ; онъ все сносилъ терпѣливо, но наконецъ доконали таки его. Гусевъ часто ходилъ на почту за полученіемъ писемъ и посылокъ на имя конторы и управляющаго; денежныя же письма всегда получалъ казначей. Разъ какъ-то управляющій приходитъ въ контору и спрашиваетъ: а кто получалъ въ такое-то время изъ почтовой конторы на имя мое посылку? Казначей справился и сказалъ, что посылку получалъ Гусевъ. Гусевъ струсилъ, сказавъ, что онъ не помнитъ: получалъ или нѣтъ такую посылку. Справились въ почтовой конторѣ—посылку получилъ, по довѣренности управляющаго, Гусевъ. Но Гусевъ призналъ почеркъ руки и расписку въ книгѣ за казначейскій. А такъ какъ въ заводѣ всѣ писцы и должностные люди, учившіеся писать по одному почерку отъ одного учителя, за небольшими исключеніями, писали почти однимъ почеркомъ, то и заключили, что Гусевъ довѣренность на повѣсткѣ сдѣлалъ фальшивую и посылку укралъ. Его стали судить, не принимая никакихъ оправданій, тѣмъ болѣе, что какъ началось объ немъ дѣло, главная контора Никитинскаго завода представила заводскому исправнику два фальшивыхъ билета, выданныхъ Гусевымъ двумъ рабочимъ.

Во весь вечеръ Гусевъ не подходилъ къ Горюнову, да и онъ все лежалъ, переворачиваясь часто съ боку на бокъ. Горюновъ часто смотрѣлъ на него. Онъ нѣсколько разъ намѣревался подойти къ нему, но самолюбіе удерживало его и вечеромъ, и ночью, въ продолженіе которой въ арестантской палатѣ горѣла лампа. Утромъ однако онъ не могъ преодолѣть себѣ, и подъ предлогомъ напиться воды подошелъ къ нему; Гусевъ лежалъ на спинѣ, заложивши обѣ руки подъ голову. Панфилъ робко взялъ кружку, открылъ—воды не было.

— Ты говоришь... Ты хочешь писать учить...— началъ нерѣшительно Панфилъ.

Гусевъ молчитъ; смотритъ сердито на Панфила.

— А можно?

— Что можно? Научиться?—пробурлилъ Гусевъ.

— Ну? Научи.

— То-то... Зазнались ужъ вы больно... Предлагаютъ, такъ чванитесь.

— А для чего учиться-то?

— Дуракъ! Ты что показывалъ-то? Помнишь ли ты, что̀ ты показывалъ на допросахъ! Подписывалъ?

Горюновъ плохо понялъ его слова и стоялъ вытаращивши на него глаза.

— Вотъ то-то и есть. Вѣдь ты не подписывалъ?

— Нѣтъ.

— Ну. А тамъ, можетъ, такіе крюки вписаны, что тебя, можетъ, въ убійствѣ обвиняютъ. Дуракъ.

Панфилъ Прохорычъ улыбнулся безсознательно.

— Чему смѣешься? Дѣло говорю. Что ты показывалъ, помнишь ли?

Горюновъ не зналъ, что̀ сказать. Онъ дѣйствительно не помнилъ, что показывалъ. Ему только хорошо памятны были наказанія. Онъ все-таки не понималъ, къ чему это Гусевъ хочетъ учить его писать, и какая отъ этого можетъ быть ему польза.

Весь этотъ день прошелъ въ совѣтахъ Гусева о томъ, какъ онъ, Панфилъ, можетъ много выиграть отъ обученія письму. Онъ на допросѣ можетъ сказать, что его даже и не спрашивали прежде, а только постоянно наказывали. А что онъ былъ наказываемъ, такъ доказательствомъ этому служитъ то, что онъ, вскорѣ по прибытіи въ городъ, попалъ въ лазаретъ. Показаній онъ никакихъ не подписывалъ. Нѣсколько больныхъ, слышавшихъ совѣты Гусева, одобряли это.

Но какъ учиться писать? Не только у Гусева, но и во всей палатѣ не было ни куска бумаги, ни карандаша. Такъ прошло мучительныхъ два дня, въ которые Гусевъ училъ Панфила писать его фамилію и имя углемъ на столѣ. Панфилъ почти всѣ угли издержалъ изъ печки, черкая на столахъ и стѣнахъ, и на третій день удивилъ докторовъ тѣмъ, что подъ его подушкой найдено было нѣсколько углей, а столъ его весь исчерченъ. Когда Панфилъ объяснилъ, что онъ учится писать, то докторъ улыбнулся и сказалъ, что онъ или хитритъ, или сходитъ съ ума. Панфилъ сталъ просить у другого доктора бумаги и карандашъ; докторъ сказалъ, чтобы онъ обратился за этими вещами къ начальству, и обѣщался поговорить объ этомъ кому слѣдуетъ. О Панфилѣ, и въ особенности его занятіяхъ, заговорили всѣ въ палатѣ, и нѣкоторые даже приставали къ фельдшерамъ, чтобы тѣ принесли бумаги; но они грубо отговаривались отъ этого тѣмъ, что докторъ еще не прописалъ для мальчишки такихъ вещей, а если не прописалъ, то и думать объ этомъ ему нечего, а нужно лежать спокойнѣе до тѣхъ поръ, пока его не выпишутъ въ тюремный замокъ. Однако къ вечеру одинъ изъ служителей досталъ гдѣ-то два листа сѣрой бумаги и карандашъ, что̀ больнымъ стоило не дешево, такъ какъ

они всѣ гроши свои выложили для того, чтобы имъ выучиться писать. Когда была принесена бумага и карандашъ, охотниковъ учиться писать выискалось такъ много, что между ними чуть не произошла драка: подняли такой гвалтъ, что часовой, слѣдившій за больными сквозь окошечко изъ корридора, принужденъ былъ позвать начальство, а оно послало солдатъ. Къ счастью, это событіе кончилось ничѣмъ, потому что при входѣ въ палату солдатъ больные затихли и успѣли припрятать бумагу и карандашъ, а потомъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ и принялись учиться писать, но это занятіе скоро надоѣло имъ, и они, пославъ его къ чертямъ, скоро забыли о немъ и съ хладнокровіемъ смотрѣли на Панфила, выводящаго карандашемъ на бумагѣ разныя *кривулины*. Панфилъ усердно занимался новымъ для него дѣломъ. Правда, онъ еще въ заводѣ учился писать и читать, но занимался шутя, отъ нечего дѣлать; потомъ, пробывши все лѣто на рудникѣ, а зиму на промыслахъ, онъ забылъ почти все. Поэтому неудивительно, что въ одну недѣлю, исчертивъ два листа бумаги, онъ уже могъ разбирать печатное. И какова же была его досада, когда на другую же недѣлю ученія его выписали изъ лазарета!.. Онъ плакалъ, молилъ фельдшеровъ и служителей оставить его еще на недѣльку,—ничто не помогло. Пришлось разстаться съ Гусевымъ, который училъ его говорить на допросѣ слѣдующее: фальшивый билетъ далъ ему рабочій съ пріисковъ при хозяинѣ кабака Борисѣ Евстигнѣевѣ, который самъ и подписался на распискѣ; объ этомъ рабочемъ знаютъ Ульяновы, которые получили отъ него тоже пять рублей. Изъ полиціи онъ не бѣгалъ, а ушелъ потому, что двери были не заперты, и на томъ основаніи, что его хотѣли выпустить изъ полиціи на свободу въ тотъ же день, но не выпустили потому, что у него не было денегъ, которыхъ просилъ за это квартальный, и что онъ никогда не подписывалъ никакихъ показаній, хотя и умѣлъ писать. На прощанье Гусевъ далъ ему бумагу, на которой было написано черновое прошеніе.

Въ огромной каморѣ со сводами, находящейся во второмъ этажѣ, съ двумя небольшими окнами, выходящими наружу къ полямъ, съ крѣпкими рѣшетками, сдѣланы были нары, какъ у двухъ стѣнъ, направо и налѣво, такъ и по серединѣ каморы. Въ этой каморѣ помѣщались тридцать одинъ арестантъ, большинство которыхъ состояло изъ воровъ, бѣглыхъ и непомнящихъ родства; были тутъ и обвиняемые въ убійствахъ, но только двое и попали они сюда потому, что въ другихъ каморахъ для нихъ уже не было мѣста. Всѣ они еще судились.

Утро. Въ каморѣ темно, сыро, душно. Хотя и полагались для арестантскихъ каморъ ночники, но они исправно уносились въ шесть часовъ вечера, тотчасъ послѣ переклички. Въ окнахъ форточекъ не имѣлось, вѣроятно потому, что начальство считало роскошью для арестантовъ чистый воздухъ. Впрочемъ нѣкоторые арестанты имѣли свои свѣчи, и хотя строго запрещалось куреніе табаку не только въ каморахъ, но и на дворѣ, однако арестанты свободно курили — вѣроятно потому, что само начальство курило въ каморахъ.

Въ каморѣ тихо. Только изрѣдка кто-нибудь пробурлитъ что-то; изрѣдка кто-нибудь простонетъ или кашлянетъ разъ, два, три, охрипло, за нимъ послѣдуетъ кашель фистулой, потомъ кашель сухой, свистящій, и вдругъ камора огласится смѣсью разныхъ кашлей, ворчаніемъ и плевками людей, бряцаніемъ цѣпей, и немного погодя все это смолкнетъ и опять или послышится кашель, или бряцанье цѣпей, или храпъ кого-нибудь... Зато въ корридорѣ, за дверью, не умолкаютъ шаги часового и изрѣдка слышатся какіе-то возгласы.

Лунный свѣтъ глянулъ сквозь оконныя стекла и тускло освѣтилъ камору: въ ней образовались двѣ широкія косыя полосы съ темными черточками. Эти полосы, ложась отъ оконъ до печи и двери, тускло освѣщали только одинъ уголъ каморы: онѣ освѣщали нѣсколько головъ и кандалы, на которыхъ только блестѣли заклепки; остальное было все мрачно. Но и этотъ свѣтъ вдругъ исчезъ за густыми громадными тучами. Онъ никого какъ будто не разбудилъ. Но вотъ слышится, кто-то какъ будто скребетъ и скребетъ, то скоро, то сильно, то тихо, и вдругъ перестанетъ. Вдругъ что-то какъ будто треснуло, посыпалось и опять настала гробовая тишина.

Опять кто-то скребетъ.

— Какой тутъ дьяволъ?!—слышится чей-то голосъ въ углубленіи каморы, почти въ самомъ углу.

Въ каморѣ тихо. Немного погодя слышится скрипъ наръ, зѣвки, царапанье кожи. Панфилъ лежитъ подъ нарами. Онъ только третьи сутки какъ прибылъ сюда изъ лазарета, и въ это время не успѣлъ еще обзавестись квартирой въ каморѣ. Положеніе его въ тюрьмѣ весьма безпокоило; во-первыхъ, онъ не находилъ себя ни въ чемъ виновнымъ; во-вторыхъ, ему было досадно, что онъ, убѣжавши изъ полиціи, не сѣлъ въ любую лодку и не уплылъ по теченію рѣки. Но куда бы онъ уплылъ? У него не было ни денегъ, ни хлѣба! Безъ паспорта его никто бы никуда нъ принялъ, потому что въ тѣхъ мѣстахъ жители не особенно жалуютъ бѣглыхъ, боясь, чтобы они ихъ не обокрали, и предпочитая получить за поимку бѣглаго платы отъ казны три рубля. «И за что такая напасть мнѣ? Ну, хоть бы я укралъ что!» думалъ Панфилъ.

Общество тюремныхъ товарищей по каморѣ пугало его, потому что онъ почти ни въ одномъ человѣкѣ не встрѣтилъ сожалѣнія къ себѣ; всѣ они ругались по острожному, называли другъ друга ворами, корили другъ друга всѣмъ; у нихъ, казалось, не было уже ни стыда, ни совѣсти; они говорили такія вещи, отъ которыхъ морозъ по кожѣ Панфила подиралъ. Ложь, обманъ, нахальство, грубость царили во всей каморѣ; ни съ кѣмъ нельзя было посовѣтоваться, поговорить отъ души, потому что никто никому не только не сочувствовалъ, а ждалъ съ нетерпѣніемъ, когда кого-нибудь изъ товарищей, сидящихъ рядомъ и хлебающихъ прокислыя щи изъ одного ушата, поведутъ на эшафотъ и будутъ наказывать плетьми. Это была любимая

тема для заключенныхъ, вѣроятно потому, что каждый, думая, что и ему не миновать тяжелаго наказанія, приготовлялъ себя къ нему и тѣмъ самымъ утѣшалъ себя нѣсколько. Панфилъ считалъ это общество за адъ, ненавидѣлъ всѣхъ, и его языкъ не поворачивался говорить съ кѣмъ-нибудь. Кромѣ этого, онъ видѣлъ, какъ грубо обращались съ его товарищами даже солдаты, какъ эти заключенные всячески старались выслужиться передъ солдатами для того, чтобы выйти во дворъ, получить лишній кусокъ хлѣба... Панфилу, непривыкшему къ такому обществу и неиспорченному еще, до того казалось оно противнымъ, что онъ проклиналъ свою жизнь, грызя рукавъ своей грязной рубахи, пропитанной всякою гадостью. Ему хотѣлось даже разбить голову объ стѣну, хотѣлось повѣситься. Будь одинъ, онъ придумалъ бы что-нибудь и лучше, но при теперешнемъ положеніи онъ лучше этого ничего не могъ выдумать, и только не приводилъ своихъ мыслей въ исполненіе потому, что повѣситься — не на что, бить свою голову объ стѣну—больно; попробовалъ онъ руками давить шею—боли не вынесъ...

А кандалы на ногахъ брянчатъ; ноги словно разбухли, отяжелѣли... Даже въ каморѣ онъ не нашелъ себѣ порядочнаго мѣста: на нарахъ и такъ тѣсно, да и ими владѣютъ люди—иные уже годъ, а иные и больше. Можетъ быть, они и уступятъ ему мѣсто, но за деньги, а денегъ у него нѣтъ ни гроша. У него уже третій день какъ болитъ желудокъ и онъ никакъ не можетъ хлебать прокислыхъ щей; сухія корки ржаного солдатскаго хлѣба опротивѣли ему... Одно его немного утѣшало въ это время—это то, что вчера ему писарь переписалъ прошеніе и сегодня онъ надѣялся подать его стряпчему.

Вдругъ слышитъ онъ, что кто-то надъ нимъ не то шепчетъ, не то сопитъ... И слышитъ онъ вдругъ слова: «Богородица дѣво радуйся, благодатная Марія, Осподь съ тобою... Милосердія двери... обрадованная дѣва Матерь Божія, раба своего защити и помилуй»...

Стало тихо... Вдругъ кто-то зарыдалъ надъ нимъ... Рыдаетъ кто-то и долго, долго, тяжело рыдаетъ, точно вся внутренность его хочетъ перевернуться. Слушалъ, слушалъ Панфилъ; грустно, тяжело ему сдѣлалось, сердце сдавило, горло точно кто обхватилъ ему... Выползъ онъ кое-какъ изъ-подъ наръ, всталъ на колѣни, заплакалъ, зарыдалъ... Ничего онъ не чувствуетъ, ничего не слышитъ; стоитъ онъ, понуривши голову, а слезы, жгучія слезы такъ и льются изъ глазъ.

— Осподи! Осподи Іисусе Христе!! — вопитъ Панфилъ, и ничего больше не можетъ произнести отъ неудержимыхъ слезъ. Сердце давитъ, голова отяжелѣла, глаза не могутъ глядѣть въ темноту.

— Кто это сопитъ? — крикнулъ кто-то вблизи Панфила.

Панфилъ вздрогнулъ, и рыданія его еще больше усилились. Онъ положилъ голову на полъ и плакалъ пуще прежняго.

— Никакъ мальченко плачетъ.

— Не трожь! Молитву творитъ.

— Господи, спаси и помилуй!

— Мальченко! А мальченко! Что воешь-то? Али поможешь горю?

— Вотъ ты, собака, николды крестомъ образины не перекрестишь!

— Самъ хорошъ, сволочь! — говорили съ разныхъ сторонъ арестанты.

— И какъ вамъ, братцы, не стыдно! Али у васъ совѣсти ни на грошъ нѣту-ка? И изъ-за чего вы это крикъ-то подняли, безстыжіе люди, прости Господи,—говорилъ кто-то далеко отъ Панфила.

— Молчи!

— Гдѣ у васъ, у мерзавцевъ, Богъ-то? Еретики вы проклятые!

Въ каморѣ настала тишина. Въ это время Панфилъ уже не плакалъ, а усердно молился, прося Бога и Богородицу избавить его отъ великой напасти. Ему было теперь легче.

Раздался продолжительный звонокъ по корридору. Арестанты уже разговаривали. Разговоры вертѣлись около острожной жизни и воспоминаній прошлаго, и все это приправлялось хохотомъ, остротами, руганью со всѣхъ сторонъ, такъ что говорили почти всѣ разомъ. Теперь уже Панфилу молитва не шла на умъ. Онъ стоялъ около наръ. Ему хотѣлось заговорить съ тѣмъ, который молился, но тотъ лежалъ неподвижно.

— Дядюшка!—сказалъ онъ, дернувъ что-то попавшееся ему въ руку.

— Ахъ ты, собака! Что ты теребишь, аспидъ!

— Пусти посидѣть.

— Есть васъ всякихъ. Пошелъ!!

Панфилъ удивился: этотъ человѣкъ молился недавно и вдругъ теперь даже слова не хочетъ сказать какъ слѣдуетъ. Осердился Панфилъ и крикнулъ:

— Съѣлъ я у те мѣсто-то! Чортъ!

— Что чертыхаешься-то, щенокъ! Давно ли молился-то?

— А ты-то? Кто давѣ быкомъ-то ревѣлъ?

Арестантъ замолчалъ и подвинулъ ноги. Панфилъ сѣлъ. Разговоры арестантовъ нисколько не интересовали его; онъ понималъ, что они все врутъ, бахвалятся. Ему хотѣлось бы приказать имъ, чтобы не кричали такъ... Ему потомъ завидно стало, что они такъ рѣчисты, скоро находятъ остроты, и онъ думалъ: «куды нашимъ мастеровымъ противъ нихъ! Сто словъ на одно слово скажутъ, закидаютъ словами. И бабы наши въ подметку не годятся, нужды нѣтъ, что рѣчисты и куды какъ горласты»... Наконецъ ему надоѣло слушать, голодъ мучитъ, хочется пить.

— Ахъ, убѣчи бы!—шепчетъ онъ и сжимаетъ кулаки.

— Чево? — спрашиваетъ его арестантъ, лежащій около него на нарѣ.

— Убѣчь!

— Хо-хо! Молодъ, братъ.

— А ты бѣгалъ?

— Извѣстно... Дѣло привычное. На шафотѣ пробовалъ, опять буду пробовать и опять утеку въ лѣса.

— Ты изъ лѣсу?

— Ну да.

На этомъ разговоръ и покончился. Загремѣлъ замокъ. Отворили дверь. Паръ хлынулъ въ камору и скоро наполнилъ ее до того, что огонь на свѣчкѣ мелькалъ тускло.

— На ноги!—крикнулъ унтеръ-офицеръ.

Арестанты заговорили. Послышались шлепки; унтеръ билъ по щекамъ арестантовъ обѣими ладонями.

— Руки отобьетъ! — кричатъ арестанты и хохочутъ.

— Равняйсь!!—кричитъ унтеръ.

Арестанты ругаются, половина изъ нихъ равняется, то есть подходитъ на середину каморы и становится передъ унтеромъ.

— А вы? а вы? я васъ! Розогъ! — кричитъ унтеръ на остальныхъ.

Два человѣка нейдутъ съ мѣстъ. Унтеръ записываетъ ихъ и начинаетъ перекличку. Всѣ. За унтеромъ запирается дверь; опять гремитъ замокъ. Арестанты ругаются.

— Уступи ты мнѣ мѣстечко, — проситъ Панфилъ того арестанта, который утромъ молился.

— Что дашь?

— Да что дать-то?

— Ну, и убирайся!

Идетъ Панфилъ къ другимъ—его гонятъ прочь. Некуда ему пріютиться... Свѣтаетъ.

Опять гремитъ замокъ. Входятъ двое солдатъ съ ружьями, унтеръ и еще двое солдатъ безъ ружей, палачъ въ красной ситцевой рубашкѣ и плисовыхъ шароварахъ и смотритель. Арестанты встаютъ на ноги.

— Которые?!—кричитъ унтеру смотритель.

Унтеръ вызываетъ двухъ арестантовъ.

— Раздѣть!

— Ваше благородіе... Я... ноги отекли.

— Ра-а-з-дѣть!! Я вамъ покажу! Эй ты, мальчишко?!—крикнулъ вдругъ смотритель на Панфила, который, сидя на нарахъ, смотрѣлъ съ разинутымъ ртомъ на смотрителя, котораго онъ видѣлъ еще въ первый разъ, такъ какъ онъ являлся въ каморы только въ экстренныхъ случаяхъ.

Всѣ оглянулись на Панфила.

— Взять!—кричитъ смотритель.

Одинъ изъ солдатъ подошелъ къ Панфилу и потащилъ его къ смотрителю; Панфилъ сталъ барахтаться.

— Въ секретную!—кричалъ смотритель. — Ты что? шельма! разбойникъ! — кричалъ смотритель.

— Розогъ!—крикнулъ вдругъ неистово смотритель.

Явилось четыре солдата съ охапками розогъ. Началась секуція. Наказывали двоихъ арестантовъ и Панфила. Смотритель былъ недоволенъ тѣмъ, что ихъ наказывали концами розогъ, онъ то и дѣло кричалъ:

— Комлемъ! Крѣпче! Я вамъ!

Кое-какъ Панфилъ всталъ съ полу. Онъ не понималъ, за что его наказали. Арестанты хохочутъ.

— Молодецъ, мальченко... стерпѣлъ! Вынесетъ и плети...

Панфилъ заплакалъ; надъ нимъ еще пуще стали смѣяться. Въ каморѣ дѣлается свѣтлѣе. Яснѣе и яснѣе обрисовываются лица арестантовъ, блѣдныя, исхудалыя, съ различными выраженіями, съ бритыми затылками, съ черными отъ грязи холщевыми рубахами. Большинство арестантовъ копошилось на нарахъ, меньшинство или ходило, или сидѣло въ различныхъ позахъ.

Опять отворили дверь. Вошли двое часовыхъ, унтеръ и писарь.

— Безукладниковъ! Соловьевъ! Кузьминъ! Возьми!?—кричалъ писарь, обращаясь при послѣднемъ словѣ къ солдатамъ.

— Одѣвайся! На работу!—кричалъ унтеръ и потомъ, обратясь къ писарю, сказалъ. — Трехъ мало съ этой каморы. Вонъ этого мальчишку еще надо.

— Мальчишко? чей?

— Горюновъ,—сказалъ негромко Панфилъ.

— Пошелъ на работу!

Панфилъ чувствовалъ сильную боль, но не протестовалъ противъ такого распоряженія, потому что ему очень хотѣлось выйдти на свѣжій воздухъ, увидать людей. И онъ скоро вышелъ на дворъ въ сѣромъ арестантскомъ полушубкѣ, покрывавшемъ его ноги ниже колѣнъ, съ чернымъ клеймомъ на спинѣ, въ круглой сѣрой арестантской шапкѣ, тоже съ клеймомъ на верхушкѣ, и въ худенькихъ сапогахъ, тѣхъ самыхъ, въ которыхъ онъ былъ привезенъ изъ завода въ городъ. Тяжелые кандалы еще болѣе усиливали его страданія, онъ шелъ коекакъ, но солдатъ, шедшій сзади его, толкалъ его кулакомъ въ спину. Скоро они вышли за острожную ограду.

Хотя въ тюремномъ замкѣ и было много такихъ арестантовъ, которые уже были присуждены къ тюремному заключенію и употреблялись на городскія работы, но смотритель находилъ для себя выгоднымъ назначать въ работы еще неприсужденныхъ къ тюремному заключенію рѣшеніемъ судебныхъ мѣстъ, и назначалъ преимущественно обвиняемыхъ въ кражахъ — во-первыхъ, потому, что эти арестанты не бѣгали, а во-вторыхъ, онъ деньги, которыя платили имъ за работу по закону, получалъ себѣ. Впрочемъ арестанты рады были тому, что они цѣлый день пробудутъ нѣсколько на свободѣ, не въ острогѣ, и увидятъ свободныхъ людей, которые дадутъ имъ хоть копейку денегъ. Такъ и Панфилъ, несмотря на то, что былъ измученъ, дышалъ на улицѣ свободнѣе. И какъ ему хотѣлось не ворочаться больше въ тюрьму! Только, встрѣчая людей, ему стыдно было смотрѣть имъ въ глаза; когда товарищи его протягивали руки, прося Христа-ради подать несчастнымъ, ему совѣстно было протянуть свою руку. Но когда онъ, проходя мимо рынка, увидалъ, что товарищи его купили себѣ по копеечному калачу, у него пропалъ стыдъ и онъ сдѣлался назойливъ. Но благодѣтелей было мало.

Работа была не очень трудная: арестанты пилили дрова и могли свободно разговаривать съ крестьяниномъ, раскалывавшимъ полѣнья. Для нихъ незамѣтно прошло время до обѣда, они работали охотно и, казалось, совсѣмъ забыли про тюрьму; только солдаты съ ружьями, кандалы и арестантскіе полушубки

напоминали имъ, что они опять вернутся туда, а обращеніе съ ними хозяйской прислуги, которая удѣляла имъ изъ жалости заплеснѣвшія корки хлѣба и обглоданныя кости, приводило къ тому тяжелому сознанію, что они преступники. Здѣсь не было тѣхъ ругательствъ, какія происходили съ утра до ночи въ тюрьмѣ, а всѣ они больше молчали, вздыхали тяжело, обдумывая прошлое и настоящее и содрогаясь о будущемъ, которое имъ рисовалось въ довольно неказистомъ видѣ. Даже солдаты были не такъ грубы съ ними, и отъ скуки помогали имъ пилить дрова.

День приближался замѣтно къ концу, нужно было опять идти въ тюрьму, арестанты сдѣлались ожесточеннѣе и молчаливѣе. Одинъ только Горюновъ надоѣдалъ солдатамъ тѣмъ, что ему хочется достать бумаги и карандашъ. Въ домѣ у хозяина, у котораго работали арестанты, ни того, ни другого не оказалось. Однако Панфилъ, выходя изъ кухни, успѣлъ стащить съ полки, находившейся въ небольшихъ сѣняхъ, булку, и сдѣлалъ это такъ ловко, что солдатъ не замѣтилъ. А сдѣлалъ это онъ безсознательно: увидалъ булку, сдернулъ ее и спряталъ. И только дорогой на него напалъ такой страхъ, что онъ не зналъ, что̀ ему сдѣлать съ кражей, и куда ее дѣвать. Что̀ скажутъ арестанты, которымъ онъ говорилъ, что онъ самъ не знаетъ, за что сидитъ? Ему нѣсколько разъ хотѣлось бросить булку, но голодъ бралъ свое, и онъ крѣпче прижималъ булку, такъ что на него обратилъ вниманіе солдатъ.

— Что ты ежишься, собака?—крикнулъ солдатъ на Панфила.

— Ничего,—отвѣчалъ тотъ.

— Стой-кось?!

Солдаты остановились, всѣ окружили Панфила и вдругъ всѣ захохотали.

— Ахъ, воръ! Ахъ, мошенникъ!—говорили они, и во всю дорогу заставляли разсказывать Горюнова о кражѣ. Но въ тюремномъ коридорѣ солдаты отняли у него булку, говоря, что они берутъ ее за труды.

Нечего и говорить о томъ, что о Панфилѣ вся камора разсуждала, какъ объ молодцѣ, который въ такихъ дѣлахъ далеко уйдетъ впередъ. Теперь ужъ ему дано было названіе «булочный воръ», и этимъ именемъ его называли вмѣсто фамиліи.

Ни на другой, на на третій день Панфила не посылали на работу. Камера отворялась только въ извѣстное время, да развѣ какого-нибудь арестанта выведутъ изъ нея для отобранія въ судѣ допросовъ, или введутъ этого арестанта послѣ допроса. Скука была страшная; арестанты повторяли ежедневно все одно и то же, и ругались всѣ злѣе и злѣе. Малѣйшее происшествіе въ острогѣ, узнанное какъ-нибудь случайно, малѣйшее событіе, переданное арестантами, требовавшимися въ судъ, и можетъ быть невѣрное, изобрѣтенное самими же арестантами, —все это оживляло камору, двигало мозги каждаго. Говорили всѣ, каждый старался отличиться передъ другими остротами, шутками, каждый старался доказать, опровергнуть и переспорить ругательствами. Черезъ недѣлю послѣ того, какъ Панфилъ ходилъ на работу, въ камору приходилъ прокуроръ, и Панфилъ подалъ ему прошеніе. Арестанты говорили, что за эту жалобу достанется Панфилу, но онъ надѣялся, что дѣло его можетъ быть кончится скоро, потому что сестра его въ это время жила у судейскаго засѣдателя. И въ самомъ дѣлѣ, черезъ недѣлю онъ былъ выпущенъ, обокралъ сестру, и исчезъ неизвѣстно куда. Пелагея Прохоровна очутилась безъ денегъ и къ тому же, по неудовольствію съ хозяевами, лишилась мѣста...

XIV.

Горюновъ и Ульяновъ очень радовались своему путешествію на пріиски; первый предполагалъ забрать какой-нибудь пріискъ въ руки, то есть сначала оглядѣться, расположить рабочихъ къ себѣ, познакомиться съ раскольниками, которые непремѣнно, по его мнѣнію, должны были жить недалеко отъ пріисковъ, и потомъ самому сдѣлаться довѣреннымъ. Ульяновъ радовался тому, что давнишнее его желаніе—добывать золото —исполнится. Онъ не хотѣлъ быть довѣреннымъ; нѣтъ, ему хотѣлось только имѣть золото, продавать его и въ то же время жить ни отъ кого независимо. Онъ мечталъ о томъ, чтобы ему дожить свои дни въ покоѣ, чтобы у него была жилая избушка, непремѣнно около ключа, и въ лѣсу водилось бы много птицъ, за которыми, отъ нечего дѣлать, можно было бы охотиться. Хозяйка варила бы ему пиво и брагу, дѣти бы подросли, сыновья поженились, а дочери вышли замужъ, жили бы недалеко отъ него и каждый большой праздникъ приходили къ нему. Славно было бы Ульянову! Но Горюновъ и Ульяновъ, думая каждый самъ о себѣ, въ то же время не хотѣли ни работать, ни жить вмѣстѣ, находя, что если они будутъ жить вмѣстѣ, то никогда не достигнутъ своихъ цѣлей; этого другъ другу они однако не высказывали. Вообще какъ Горюновъ и Ульяновъ, такъ и Кирпичниковъ рѣдко говорили другъ съ другомъ. Когда они останавливались ночевать (по ночамъ Кирпичниковъ боялся ѣхать), то говорили хозяевамъ, что они люди торговые, ѣздили въ городъ, да оттуда воротились ни съ чѣмъ, потому что ихъ обокрали. А дорога была дальняя, тѣмъ болѣе, что они ѣхали по проселкамъ, во многихъ мѣстахъ занесеннымъ снѣгомъ и узкимъ до того, что, сидя въ саняхъ, нужно было постоянно нагибаться, чтобы по лицу не хлестало широкими вѣтвями деревъ. Чѣмъ дальше они ѣхали, тѣмъ мѣстность была лѣсистѣе, гористѣе, дороги были хуже и хуже, приходилось раза по три, по четыре переѣзжать черезъ узенькія рѣчки съ крутыми берегами; меньше и меньше имъ стало попадаться селъ и деревень, самыя деревни были очень бѣдны на видъ, да и гористая мѣстность повидимому очень мало приносила пользы людямъ. Здѣсь, въ этихъ деревняхъ съ пятью, шестью домиками, въ это время жили только старики и старухи, немогущіе ни пройти далеко, ни дома работать. Они уже отработали и доживали свои дни въ нищетѣ, возясь съ внучатами. Молодыхъ людей въ избахъ не было—всѣ они ушли на пріиски. Здѣсь только и было рѣчи, что̀ о пріискахъ, и мѣстный житель не зналъ больше другого ремесла. Поэтому нашимъ путешественникамъ рѣдко попадались встрѣчные мужчины. Эти люди, идя по одному или не больше трехъ, завидя сани,

сворачивали съ дороги въ сторону, несмотря на то, что вязли по животъ въ снѣгу. Если же какой-нибудь человѣкъ, большею частью татаринъ, съ дороги не сворачивалъ, то Кирпичниковъ брался за ружье и зорко слѣдилъ за движеніемъ пѣшехода и оглядывался часто, до тѣхъ поръ, пока, по его мнѣнію, опасность не миновалась.

— Время теперь самое опасное—говорилъ онъ;— того и бойся, чтобы кто не выскочилъ изъ лѣсу и не ударилъ тебя бастрыгомъ (толстой палкой). Теперь самое удобное время бѣгать изъ тюремъ али изъ каторги, потому — снѣгъ. Мы вотъ ѣдемъ по дорогѣ, а бѣглый бѣжитъ по полю али по льду на рѣчкахъ, на лыжахъ цѣлый день, и если нѣтъ лѣсу, верстъ шестьдесять можетъ откатать... Тоже съ пріисковъ бѣгаютъ такимъ манеромъ. Я въ первый разъ такъ ѣхалъ—не берегся, да какъ напало на меня четыре человѣка, сталъ бояться. И ружье не помогло!

Наконецъ путешественники въѣхали въ холмистую мѣстность, безъ лѣса, съ изрытою во многихъ мѣстахъ землею, съ высокими въ разныхъ мѣстахъ насыпями, въ которыхъ торчали или шесты, или просто палки. Кой-гдѣ на ней были разбросаны обгорѣлыя бревна, торчащія изъ подъ снѣга, кое-гдѣ лежали въ кучахъ дрова, кое-гдѣ виднѣлись разоренныя постройки съ высокими и полуразвалившимися трубами. Въ одномъ мѣстѣ жгутъ дрова, обсыпанныя землею, а недалеко отъ этого навалены въ безпорядкѣ въ большомъ количествѣ угли; въ другомъ сдѣлано подобіе кирпичнаго сарая, на доскахъ котораго въ разныхъ мѣстахъ лежатъ кирпичи. Это былъ покинутый пріискъ. За нимъ по обѣимъ сторонамъ дороги стали появляться столбы съ выжженными буквами, просѣки съ обгорѣлымъ рѣдкимъ лѣсомъ, съ накладенными въ немъ во многихъ мѣстахъ кучками дровъ; дальше справа лѣсъ густѣлъ, слѣва былъ только кустарникъ, который чѣмъ дальше ѣхали путешественники, тѣмъ больше и больше рѣдѣлъ. Тутъ начинались Удойкинскіе пріиски. Холмистая мѣстность казалась какъ будто загороженною съ запада и сѣвера высокими грядами горъ, на вершинахъ которыхъ бѣлѣлись снѣга, а бока поросли чернымъ лѣсомъ; съ юга и востока пространство застилалось лѣсомъ, который чѣмъ дальше, тѣмъ становился какъ будто бы выше. Издали казалось, что горы какъ будто шли прямымъ треугольникомъ около пріисковъ, преграждая дальнѣйшій путь, но, между тѣмъ, чѣмъ дальше путешественники въѣзжали на пріискъ, тѣмъ больше этотъ уголъ расширялся, сѣрѣлъ и принималъ разнообразный видъ. Тутъ же при подошвѣ горъ текла быстрая рѣчка Удойка, съ очень холодной лѣтомъ и весною водой. Все пространство большею частью было изрыто, и холмы были прокопаны. Въ этихъ мѣстахъ постройки уже были частью сложены, частью заброшены, но по нимъ можно было судить, что онѣ построены недавно. Въ настоящее время у подошвы горы была выстроена большая изба съ четырьмя окнами, выходящими на рѣчку Удойку. Къ этой избѣ наши путешественники и подъѣхали, такъ какъ она служила жилищемъ довѣреннаго, въ ней останавливались земская полиція, ревизоръ и другое начальство. Около крыльца съ пятью ступеньками, по которымъ ходили въ избу, стояла паровая машина, ничѣмъ не покрытая и безъ всякаго призора. Недалеко отъ нея направо, у самой рѣчки стоялъ домъ въ три окна съ фигурными ставнями у оконъ. За домомъ вплоть до подошвы горы все пространство было огорожено плетнемъ. Тутъ жилъ мастеровой Костроминъ, торгующій водкой, пивомъ, хлѣбомъ, калачами. Наискосокъ отъ этого дома, за рѣчкой Удойкой, стояла большая изба для рабочихъ. За нею въ одной верстѣ стояло что-то похожее на амбаръ, но съ трубой на крышѣ. Тутъ была баня съ полкомъ, въ которой, на полку, жили преимущественно женщины, не желавшія жить съ мужчинами въ большой избѣ, а внизу около полка— лошади, справлявшія работы на погонахъ, употребляемыхъ для растирки песковъ. За этими постройками, окруженными канавами съ перекладинами на нихъ для ходьбы, въ двухъ мѣстахъ стояли четыре большія избы, сколоченныя изъ досокъ, каждая съ тремя большими окнами, изъ коихъ было два по бокамъ, аршина на два отъ земли, а одно въ серединѣ, сдѣланное почти вровень съ землей, и съ желѣзными трубами, изъ которыхъ шелъ или дымъ, или паръ. Изъ этихъ избушекъ, гдѣ производилась промывка золота, слышался стукъ, какъ отъ дѣйствія машинами, и пѣсни нѣсколькихъ мужскихъ голосовъ. Около каждой избушки, между четырьмя столбами, вокругъ каждаго столба ходятъ, погоняемыя мальчиками, по четыре и по пять лошадей, которыя приводятъ своею ходьбою въ движеніе два каменные круга, вдѣланные у стѣны въ перекладину и приводящіе съ своей стороны въ движеніе толчею, находящуюся въ избѣ и имѣющую видъ молота, медленно, но грозно опускающагося въ середину большой чаши, въ которую сверху сыплютъ изъ тачекъ руду. Около краевъ чаши стоятъ рабочіе съ молотами и граблями или боронами, и первые изъ нихъ разбиваютъ мелкіе куски руды, а вторые сгребаютъ размельченную руду въ трубу, откуда она поступаетъ въ вашгертъ, или деревянный ящикъ съ нагрѣтой водой, приводимой въ движеніе посредствомъ ручного колеса. Черезъ дно этого ящика вода просачивается съ мелкими частицами руды въ корыта или жолоба, сдѣланные немного наклонно. Осаждающійся на днѣ этого жолоба золотой песокъ рабочіе подбираютъ савочками и кладутъ въ небольшія жестяныя кружки съ печатями. Нѣсколько человѣкъ накладываютъ промытую землю, въ которой не содержится золота, въ тачки и отвозятъ по доскамъ прочь.

Домъ довѣреннаго, или *изба*, какъ его называли попросту, состоялъ изъ прихожей, двухъ чистыхъ комнатъ и кухни. Онъ принадлежалъ владѣльцу пріиска, какому-то дворянину, какъ и всѣ прочія постройки. Кирпичниковъ былъ встрѣченъ приказчикомъ, исполнявшимъ на пріискахъ должность нарядчика, и ревизоромъ-чиновникомъ, обязаннымъ слѣдить за тѣмъ, чтобы золото вымывалось, какъ слѣдуетъ, и не поступало въ руки рабочихъ.

— Ну, братецъ ты мой, насилу мы дождались тебя!—проговорилъ приказчикъ.

— Что такъ?

— Да золота очень мало. Вонъ Яковъ Петровичъ придирается: говоритъ, плохо слѣдишь! А я говорю, чѣмъ бы на птицъ ходить съ ружьемъ, взялъ бы самъ и стоялъ да смотрѣлъ, какъ и что̀ промываютъ.

— Нѣтъ, Гришка, воруешь! — сказалъ чиновникъ.

Начались перекоры.

— А вотъ мы посмотримъ. Надо узнать, сколько промыто грязи.

— Вѣсили, братецъ ты мой! Изо ста пудовъ вышло только двѣ доли.

— Ха-ха! да кому ты говоришь?

Между тѣмъ рабочіе подходили со всѣхъ сторонъ къ избѣ и черезъ часъ ихъ было уже человѣкъ до пятидесяти. Тутъ были и татары, и башкиры въ сѣрыхъ войлочныхъ зипунахъ и мѣховыхъ бараньихъ треугольныхъ шапкахъ, или малахаяхъ, черемисы, зыряне и калмыки въ полушубкахъ, зипунахъ и просто въ рубашкахъ, въ разнообразныхъ мѣховыхъ шапкахъ; тутъ были мужчины и безъ шапокъ, съ завязанными тряпицами или платкомъ щеками и ушами, и раскольники въ востренькихъ плисовыхъ шапочкахъ; тутъ было до десяти женщинъ, изъ которыхъ двухъ можно было сразу назвать татарками по широкимъ шароварамъ, съ повязанными холстомъ головами и въ продранныхъ бараньихъ шубахъ. На большинствѣ надѣты лапти, на меньшинствѣ — валенки изъ войлока. На рукахъ у мужчинъ надѣты или кожаныя, или большія собачьи и бараньи рукавицы съ вывороченной наверхъ шерстью; у женщинъ шерстяныя варежки. Нѣкоторые держали на плечахъ лопаты; нѣкоторые упирались ломами, какъ палками; большинство переминалось, не держа ничего въ рукахъ. Всѣ голосили, каждый на своемъ языкѣ, и не обращали никакого вниманія на крики и угрозы казаковъ.

— Работать надо! Пушла, русска мужикъ, пушла! —кричали казаки, грозясь нагайками.

— Нечего гнать русскихъ! Свою братью гони.

— Погонять моя твоя будитъ скоро на бульшой дорога! Собакъ!

Но повидимому казаки только для вида исполняли свою обязанность и кричали по привычкѣ командовать.

Народъ, несмотря на то, что стоялъ въ одной кучѣ, раздѣлялся на нѣсколько небольшихъ кучекъ по націямъ; такъ, татары стояли съ татарами, русскіе — съ русскими, разсуждая только между собой; съ другими они только огрызались. У всѣхъ на лицѣ виднѣлось нетерпѣніе, ожиданіе чего-то, и только по нѣсколькимъ башкирскимъ лицамъ можно было заключить, что, кромѣ башкиръ, всѣмъ не очень-то хорошо здѣсь; лица же башкировъ, кромѣ выраженія суровости, не изображали ни горя, ни радости. Вышелъ Кирпичниковъ съ приказчикомъ.

— Здорово, ребята!—сказалъ онъ, снявъ шапку.

Кое-кто снялъ шапки, кое-кто произнесъ что-то.

— Вы лѣнитесь, шельмы! — проговорилъ приказчикъ.

— Разсчетъ подай! Деньги дай!

— Приказчикъ говоритъ, что онъ отдалъ деньги,—сказалъ Кирпичниковъ.

— Что̀ онъ отдалъ! Хлѣба нѣтъ. Для того, что ли, мы пришли сюда?

— Никто не держитъ, голубчикъ. Знаю я, откуда ты!

— Деньги подай! Что намъ, голодомъ, что ли, быть?

— Сегодня, братцы, мнѣ некогда!— и приказчикъ ушелъ.

Рабочіе заговорили, приняли угрожающій видъ; казаки хватились за винтовки; Кирпичниковъ засунулъ правую руку за полу тулупа.

— За что вамъ платить, когда вы ничего не дѣлали! много ли золота-то безъ меня промыли? Всего только четверть фунта! — кричалъ Кирпичниковъ.

— Врутъ! они воровали!

— По мѣстамъ!

— Деньги подай!—и рабочіе подошли къ избѣ.

— Это видите! — крикнулъ довѣренный, вытаскивая пистолетъ.—Смѣй только кто подойти!

— Приказчика вытребуй! Зачѣмъ онъ ушелъ? Трусъ!

— По мѣстамъ! Я сейчасъ буду на пріискахъ!

И довѣренный ушелъ въ избу. Рабочіе разошлись въ свою.

Изба рабочихъ имѣла большія полати, на которыхъ умѣщалось до двадцати человѣкъ; подъ ними и около стѣнъ стояли широкія скамейки изъ тонкихъ досокъ. Въ избѣ было темно, дымно, угарно и сыро; на полу лежала грязь, да и скамейки не отличались особенной чистотой. Придя сюда, рабочіе стали ругаться.

— Отчего ты, татарская образина, молчалъ?

— Моя все сказалъ. Твой куда языкъ дѣвалъ?

— У тебя былъ ломъ!

— У тебя лопата. Боялся — собакъ стрѣлитъ!

— Вамъ бы только ругаться другъ съ дружкой, а до дѣла коснись,—вы и ни тяпъ, ни ляпъ. Ужъ добро мы, бабы, Христа-ради робимъ, и денегъ намъ даютъ меньше вашего, потому ужъ вездѣ права наши одинаковы. А вы-то, вы-то, мужики!.. —кричала одна женщина.

— Суньcя—коли онъ стрѣлять хотѣлъ!

— Не выстрѣлилъ бы, а лиха бѣда, одинъ бы околѣлъ—не важность!

— А если бы въ тебя...

— Не безпокойся! въ тебя скорѣе бы попалъ! Вотъ ужъ некого было бы жалѣть-то!

Рабочіе захохотали.

И здѣсь рабочіе раздѣлялись на партіи... Татары, башкиры и часть русскихъ забрали себѣ полати, на печи спали казаки и бабы, исправлявшія здѣсь должность кухарокъ и рабочихъ, за что ни рабочіе, ни довѣренный имъ ничего не платили, такъ какъ онѣ и сами ѣли готовое, и имѣли время работать на пріискахъ, не далеко отъ избы, за что имъ и выговорена была плата по пятнадцати ко-

пеекъ; на скамейкахъ спали остальные, которыхъ не пускали ни на полати, ни на печь. Въ числѣ этихъ были двѣ татарки съ своими мужьями и двумя парнями татарченками, пришедшія сюда недавно, и нѣсколько человѣкъ бѣглыхъ, которыхъ впрочемъ никто, кромѣ довѣреннаго и приказчика, не спрашивалъ, кто они такіе, но которымъ часто приводилось брать мѣсто съ бою; ребята спали на полу, а если было свободно, то и въ большой печкѣ.

Эти разнородцы постоянно ссорились другъ съ другомъ, смѣялись другъ надъ другомъ, задирали на ссору, высказывая каждый свое умственное и физическое превосходство. Попрекамъ не было конца, потому что каждый считалъ другого за вора, мошенника и пройдоху, и доказывалъ это тѣмъ, что честный человѣкъ не пойдетъ въ работу на пріиски. Но какова ни была жизнь въ избѣ, всѣ сходились въ нее, каждый ложился на пріобрѣтенное имъ мѣсто и никто не выдавалъ передъ начальствомъ другого, если замѣчалъ за нимъ что-нибудь. Такъ, если татаринъ зналъ, что русскій клалъ между складокъ лаптей нѣсколько песчинокъ золота, онъ никому не говорилъ объ этомъ, а старался какъ-нибудь обмѣнить этотъ лапоть. Если продѣлка татарину удавалась и объ ней узнавали рабочіе, то татарина долго грызли русскіе, преслѣдовали за воровство ругательствами вездѣ, и наоборотъ. Но никто не смѣлъ объявлять объ этомъ начальству, опасаясь за свою жизнь, потому что здѣсь судъ былъ коротокъ: ябедникъ на другой же день оказывался убитымъ гдѣ-нибудь во рву.

Двѣ женщины стали доставать изъ печи котлы съ кислыми капустными щами. Одинъ котелъ принадлежалъ христіанамъ, другой — иновѣрцамъ, потому что ни тѣ, ни другіе не хотѣли ѣсть вмѣстѣ, чтобы не опоганить себя. Начался крикъ, свалка; рабочіе кинулись за чашками, лежащими подъ печкой. Чашки были грязны. Кто не бралъ чашки, развязывалъ узелокъ съ хлѣбомъ.

Въ избѣ сталъ подниматься паръ отъ нѣсколькихъ чашекъ, которыя держали на колѣняхъ рабочіе. Пришли женщины со своими чашками и ложками. Опять крикъ, свалка; женщины голосятъ пуще мужчинъ, а у одной пищитъ на рукахъ грудной ребенокъ. Женщинамъ некуда сѣсть.

— Къ чему ты эту куклу-то съ собой взяла?— крикнулъ одинъ рабочій.

Женщина не обратила на него вниманія и полѣзла за щами, но ей уже не досталось щей.

— Дайте хлебнуть, Христа-ради, — просила женщина.

— Что дѣлала?

— Мальчонку кормила... Дайте ложечку.

— Самимъ мало.

— Погоди же... Припомню же я вамъ!

— Машка! Иди, дамъ ложку.

Женщина рванулась въ ту сторону, откуда послышалось приглашеніе.

Молодой рабочій стоялъ съ чашкой у желѣзной печки, нагибаясь, то присѣдая, то ворочаясь и закрывая руками чашку для того, чтобы въ чашку не загребали ложками.

— Хлебай скорѣе! — и онъ присѣлъ на полъ, не обращая вниманія на толкотню.

Женщина съ жадностью стала хлебать, не обращая вниманія на то, что щи простыли и прокислыя. Ребенокъ пищалъ.

— У! — произнесъ мужчина и ударилъ по головѣ ребенка ложкой.

— Варваръ! не жалко тебѣ своего-то ребенка!— крикнула женщина, ударивъ по лицу мужчины кулакомъ.

— Говорю, расшибу!

— Смѣй!

. . . . . .

— На работу!.. Довѣренный идетъ осматривать,—крикнулъ приказчикъ, входя въ избу.

— Скажи, не пойдемъ.

— Братцы! Мнѣ-то развѣ охота непріятности получать! Вѣдь онъ говоритъ: «дери ихъ, чѣмъ попало».

Рабочіе стали ругаться, и немного погодя половина ушла на работу, изъ другой половины одни легли, жалуясь на нездоровье, другіе прикладывали къ головамъ снѣгу и валились въ снѣгъ: они угорѣли.

Добывка руды происходила въ это время въ трехъ мѣстахъ: въ логахъ и въ небольшой площади, по обѣимъ сторонамъ рѣчки Удойки. Въ логахъ рабочіе копали слой глины параллельно площади, слѣдя за полосой, въ которой, по ихъ мнѣнію, должно находиться золото; на площади же копали внутрь. Довѣренный осмотрѣлъ работы и позвалъ рабочихъ къ своему дому. Черезъ часъ онъ роздалъ деньги и велѣлъ завтра гулять. Рабочіе, въ томъ числѣ и женщины, отправились къ Костромину.

Это былъ сѣдой высокій старикъ. Ему было болѣе ста лѣтъ. Онъ очень рано сталъ работать въ рудникахъ и съ пріисками былъ знакомъ больше, чѣмъ кто-нибудь. Настоящій пріискъ онъ уступилъ теперешнему хозяину за тысячу рублей и выговорилъ себѣ право торговать въ пріискѣ хлѣбомъ, водкой и т. п. Въ городѣ у него былъ сынъ купецъ, а здѣсь съ нимъ жилъ женатый племянникъ, который ему помогалъ торговать. Въ городъ онъ не ѣздилъ, потому что, какъ онъ говорилъ, не любилъ городской жизни и порядковъ, не любилъ и сына, который сталъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, отставъ отъ дѣдовскихъ обычаевъ. Рабочіе любили старика за то, что онъ забавлялъ ихъ разсказами. Особенно онъ любилъ разсказывать о Пугачѣ, который чуть-чуть его не повѣсилъ на колокольнѣ за то, что онъ, бывши старостой въ единовѣрческой церкви, держалъ икону внизъ головой въ то время, какъ Пугачъ прикладывался къ ней.

Отъ дома Костромина не было отбою; племянникъ, племянница и онъ самъ то и дѣло высовывали руки изъ окна, спрашивая бумажку. Рабочій подавалъ бумажку, на которой былъ записанъ заборъ. Костромины, сосчитавъ долгъ, писали цифру и объявляли ее въ окно.

Костромины не пускали къ себѣ въ домъ вечеромъ, потому что при свалкѣ ничего бы имъ не

подѣлать съ рабочими. Они уже были научены опытомъ, что рабочіе, при полученіи денегъ, прежде уплаты долговъ старались забрать что-нибудь отъ содержателя лавочки, и очень скоро опрастывали даромъ боченокъ съ водкой. Народъ между тѣмъ съ ожесточеніемъ толкался передъ окнами, ругая другъ друга, колотя въ спины, не разбирая личностей, потому что каждому хотѣлось просунуть свою руку съ буракомъ въ окно.

— Пива!

— Водки!

— Кумысъ!—кричатъ рабочіе.

— И что это за порядки такіе—дверь запирать! Что онъ за баринъ!—кричатъ недовольные Костроминымъ.

Мало-по-малу рабочіе были удовлетворены. Каждый, отдавая съ запиской долгъ, просилъ отпустить ему на столько-то копеекъ чего-нибудь. Костромины уничтожали старую записку, получая деньги, и если денегъ недоставало, говорили:

— Десяти копеекъ недостаетъ.

— Получай!

— Пиши въ долгъ!—отвѣчалъ покупатель.

Черезъ часъ каждый мужчина несъ къ избамъ по разнокалиберному бураку, въ которомъ заключались водка, пиво или кумысъ. Кромѣ бураковъ мужчины несли кто калачъ, кто витушку, кто крендельки, кто кусокъ мяса, кто нѣсколько огурцовъ, кто табаку. Женщины несли бураки съ пивомъ и брагой. Вся эта толпа шла до избушекъ съ хохотомъ, визгомъ и руганью. И если бы не этотъ гвалтъ, то всю эту публику можно было бы сравнить съ той, которая въ крещенскій сочельникъ идетъ домой съ крещенской водой.

Началась попойка въ мужской избѣ подъ свѣтъ сальной свѣчки, едва освѣщающей избу. Ребята сидѣли въ кучкѣ у дверей, попивая пиво и водку изъ своихъ бураковъ и покуривая табакъ.

Невозможно описать тотъ гамъ, который происходилъ здѣсь. Говорили, кричали всѣ стараясь каждый похвалить себя и обругать другого чѣмъ-нибудь. Теперь здѣсь не было ни надъ кѣмъ никакого начальства, всякъ чувствовалъ себя свободнымъ человѣкомъ, не боясь никого. Всѣ пьющіе казались веселыми, и тѣхъ, которые казались скучными и которые отказывались принимать участіе въ попойкѣ, заставляли пить силой.

— Ты что сидишь-то? О чемъ ты такую думу задумалъ?

— Лей на него! Лей въ него—Костроминъ отвѣтитъ!

— Не могу, братцы!—говорилъ больной.

— Слышите! Вытащимте его вонъ. Онъ худое замышляетъ!

И больной поневолѣ долженъ былъ пить.

У довѣреннаго тоже происходилъ пиръ, но онъ сказалъ Горюнову и Ульянову, чтобы они отправлялись въ избу къ рабочимъ, такъ какъ онъ назначаетъ ихъ въ работы наравнѣ съ прочими и выдалъ имъ впередъ по пятидесяти копеекъ.

Когда Горюновъ и Ульяновъ пришли въ избу, въ ней было ужасно накурено махоркой; свѣтъ едва мерцалъ, рабочіе мужчины, женщины и ребята пѣли разныя пѣсни, кричали, наигрывали на балалайкахъ и гармонійкахъ и плясали.

— Штейгерскую!

— Татарскую!

— Кержацкую!—кричалъ народъ во все горло. Вдругъ одинъ запѣлъ:

Во Шардинскомъ во селеньи
Живутъ люди старовѣры,
Съ давнихъ уже лѣтъ...

Всѣ подхватили послѣдній стихъ и продолжали во все горло:

Они пастыря не знаютъ,
Сами требы исполняютъ
Во всемъ Шартошѣ (bis).
Вотъ родятся, умираютъ
И усопшихъ отпѣваютъ
Сами безъ попа (bis).
Вдругъ является причетникъ,
Называется священникъ
Старобрядческой (bis).
Не спросивъ его письма—
Недовольно вѣдь ума!—
Приняли его (bis).
Не спросивъ его природу,
Лишь бы былъ долгобородый,
Тотъ у нихъ и попъ (bis).
Отвели попу квартиру,
Пребогату и не сыру...
Сталъ попъ поживать (bis).
Ни объ чемъ ихъ попъ не тужитъ,
Во часовнѣ у нихъ служитъ,
Какъ должно попу (bis).
Его слишкомъ принимаютъ;
Что попроситъ, награждаютъ,—
Все ему даютъ (bis).
Еще свѣдало начальство
Про попово постоянство—
Взяли попа въ судъ (bis).
Вотъ судить попа не можно,
Посадить-то его должно
Въ келью, за замокъ (bis).
Попъ по лестовкѣ спасался,
Съ кержачками жить ласкался...
Ты съ ними простись! (bis).
Они всѣ про то узнали
И не много толковали—
Прогнали его (bis).
Мы теперь тебѣ не други:
У тебя есть новы слуги,
Ходятъ за тобой (bis).
Камедьянты всѣ при лентахъ,
Всѣ лакеи въ позументахъ
Стерегутъ тебя (bis).
За серебряны монеты
Сокуютъ тебя браслеты
На ручки твои (bis).

Во время этой пѣсни четыре раскольника, съ стриженными напереди чубами, вышли на улицу.

— Что, братцы?—проговорилъ Ульяновъ.

— Всегда такъ!.. Отъ пьяныхъ покою нѣтъ. А ничего не сдѣлаешь, потому какъ запретитъ?.. Все же, по крайней мѣрѣ, свои. А вотъ какъ татары заталамкаютъ—хоть вонъ бѣги.

Шесть человѣкъ вышли изъ избы и увели Горюнова и Ульянова въ избу.

— Угощай же!.. Вы съ довѣреннымъ пріѣхали!—кричали со всѣхъ сторонъ.

Отговариваться нельзя было, и Горюновъ съ Ульяновымъ послали двоихъ рабочихъ по общему

совѣту за водкой и пивомъ. Началось опять пьянство съ пѣснями и пляской. Ульянова и Горюнова приняли въ товарищи, предоставивъ имъ самимъ выбирать мѣсто въ избѣ для себя. Нѣсколько человѣкъ уже ложилось спать, женщины одна за другой уходили.

— Татара-то! татара-то! — прокричала одна женщина, восторженно вбѣгая въ избу.

— Что?—спросило нѣсколько голосовъ.

— Кобылу довѣреннаго жарятъ!

Рабочіе вышли изъ избы; недалеко отъ дома горѣлъ большой костеръ и оттуда слышались татарскія пѣсни и пляски. Въ воздухѣ пахло нехорошо.

Рабочіе долго удивлялись надъ продѣлкою татаръ. Каждый изъ пришедшихъ давно уже не ѣдалъ мяса и каждому хотѣлось попробовать кобылятины, несмотря на отвращеніе въ трезвомъ видѣ къ этому кушанью, но обладатели кобылы не давали.

— Мы вамъ не мѣшаемъ, вы намъ не мѣшай!— говорили магометане, засовывая въ ротъ большіе куски мяса и съ наслажденіемъ чмокая губами.

Русскіе стали приставать; магометане подсмѣиваются.

— Вы съ нами не хотите знаться, и мы не хотимъ съ вами.

— Собаки! развѣ мы не дѣлимся съ вами?

— Много вы дѣлитесь! Не вы добыли кобылу. Купите?

— Подѣлитесь—сказалъ казакъ.

— Что дадите?

— Водки хотите?

Магометане заговорили между собою. Одни говорили, что водку пить грѣшно, другіе говорили, что они живутъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ водку пить можно: коли русскимъ кобылу ѣсть можно, и намъ водку пить можно.

— Давай.—Кричали татары.

— Садись, баба, съ нами,—лебезили около бабъ башкиры.

Бабы, опьянѣвшія отъ водки и желавшія перекусить горячаго мяса, не противились. Русскіе начали ругаться.

— Что кричать! Къ намъ же пришли кобылу *ашать*!—дразнили русскихъ татары.

— Что взяли!! Небось коровы не утащите!— дразнили съ своей стороны женщины, входя въ кружокъ иновѣрцевъ.

Появилась водка, начались пляски, пѣсни и долго, долго за полночь раздавались на пріискахъ эти отчаянныя пѣсни, уносимыя далеко по направленію вѣтра.

Въ мужскую избу возвратились немногіе. Горюновъ и Ульяновъ легли на скамейку и долго не могли уснуть. Раскольники, не принимавшіе участія въ оргіяхъ, говорили имъ, что пріиски сначала были богаты золотомъ, а теперь съ каждымъ днемъ золота становится меньше, такъ что эти пріиски надо бы давно бросить, а начать въ другомъ мѣстѣ. О здѣшней жизни они говорили, что она хороша только по наслышкѣ. «Вы видѣли», говорилъ одинъ изъ нихъ, «какъ рабочіе справляютъ полученіе заработка. А все оттого, что рабочимъ платятъ не каждыя сутки, а когда случаются у довѣреннаго деньги. Получивши деньги, рабочіе не знаютъ, что съ ними дѣлать, а отдать ихъ на сбереженіе некому. Вотъ они и пьянствуютъ, закупая провизію у Костромина, который ихъ надуваетъ не хуже городского торгаша, а самое ближнее село, откуда бы можно было получить провизію, находится въ пятидесяти верстахъ. Истративши въ два, три дня деньги, рабочіе берутъ въ долгъ хлѣбъ и водку, мясо же у Костромина не всегда бываетъ».

— Обожглись, вѣрно, мы, Терентій Иванычъ,— сказалъ Ульяновъ.

— Посмотримъ,—отвѣчалъ Горюновъ, думая о томъ, какъ бы ему понравиться и довѣренному, и рабочимъ.

XVI.

«Нѣтъ, такъ жить нельзя!»—думалъ Горюновъ, лежа утромъ на скамьѣ: «если я все такъ буду только глазами хлопать, я и здѣсь ничего не пріобрѣту. Въ заводѣ мнѣ нельзя было ничего добиться, потому что тамъ меня всѣ знали, я ничѣмъ себя не могъ заявить передъ начальствомъ. Здѣсь дѣло другое. Здѣсь я могу выиграть... Стану я служить и начальству, и рабочимъ...»

И Горюновъ задумалъ сдѣлаться казакомъ сперва, потомъ расположить въ свою пользу рабочихъ прибаутками, кротостью и простоватостью, ласкать ребятъ для того, чтобы они его любили и сообщали все, что они знаютъ о пріискахъ. А по его мнѣнію, ребятамъ должны быть больше извѣстны мѣста золотого песку, такъ какъ они лѣтомъ шляются по лѣсамъ. Не мѣшаетъ также поддѣлаться къ какой-нибудь бабѣ, сойтись хорошенько съ Костроминымъ и найти товарища изъ раскольниковъ, которые говорятъ, что эти пріиски нужно бросить,—стало быть, они знаютъ другія мѣста. Утромъ Горюновъ отправился къ довѣренному. Довѣренный, приказчикъ и ревизоръ играли въ стуколку, записывая выигрыши и проигрыши на бумагѣ. На другомъ столѣ стояла водка и жареные пельмени.

— Ты что?—спросилъ довѣренный охриплымъ голосомъ Горюнова.

— Да навѣдаться пришелъ. Въ избѣ-то нечего дѣлать... А вы не слыхали, что съ кобылой?

— Ну?—спросилъ въ испугѣ довѣренный.

— Ее съѣли.

— Какъ?—довѣренный вскочилъ; остальные захохотали.

— Такъ. Вчера вашъ казакъ ее закололъ.

— Отчего же ты не сказалъ мнѣ?

— Я только сегодня узналъ.

Начальство перестало играть. Всѣ отправились сперва въ кухню, но тамъ никого не было; въ конюшнѣ дѣйствительно не оказалось кобылы. Приказчикъ и ревизоръ усердно хохотали надъ Кирпичниковымъ, который злился и доказывалъ, что ему за кобылу давали семьдесятъ руб., да онъ не продалъ ея.

— Что же ты теперь дѣлать станешь?—спрашивали Кирпичникова его пріятели.

— Да что дѣлать-то станешь? — теперь всѣ пьяны, сегодня остальныя деньги пропьютъ. Пойти

теперь къ нимъ—на клочки растерзаютъ, потому народъ всякій... Но я имъ покажу, какова кобыла! Я ихъ проморю.

— Смотри, чтобы другую не съѣли.

— Нѣтъ ужъ, дудки. Вамъ что... Хочешь быть казакомъ и состоять при мнѣ?—спросилъ вдругъ Кирпичниковъ Горюнова.

— Если жалованья...

— Жалованья я тебѣ дамъ шесть цѣлковыхъ въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ. Ну, да кромѣ того ты будешь пользоваться доходами отъ рабочихъ, такъ что тебѣ придется получать въ мѣсяцъ рублей двадцать пять. Только смотри, держи ухо востро... Я знаю, что эти проклятые татаришки и башкиры только видъ дѣлали, что они усердно исполняютъ свою службу, а я думаю, они не мало накопили денегъ и золота. А твоя обязанность будетъ состоять въ томъ, что ты одну недѣлю будешь спать и находиться съ рабочими, а другую у меня... А теперь призови ко мнѣ дѣвокъ.

Горюновъ стоялъ улыбаясь.

— Что? смѣшно? Поди къ бабамъ въ баню и скажи: «довѣренный, молъ, зоветъ»... Да потомъ скажи... Ну, да ужъ я самъ скажу.

О первомъ времени должности Горюнова и Ульянова, котораго Кирпичниковъ сдѣлалъ тоже казакомъ, говорить много нечего. Башкиры и татары сильно ихъ не взлюбили, бунтовали товарищей и даже въ дракѣ вышибли лѣвый глазъ Горюнову, вслѣдствіе чего довѣренный долженъ былъ отобрать нагайки и винтовки отъ татаръ и замѣнить татаръ русскими.

Всѣ русскіе обрадовались тому, что они выжили инородцевъ, а если теперь и остались черемисы, то они были и прежде очень смирны. Но больше всѣхъ радовался Терентій Иванычъ, который своей добротой уже начиналъ привлекать къ себѣ рабочихъ, работая съ ними заодно на промыслахъ и забавляя ихъ какими-нибудь смѣшными разсказами. Несмотря на то, что рабочихъ было меньше противъ прежняго на половину, работы все-таки не хватало на всѣхъ, такъ что иногда нѣсколькимъ человѣкамъ вовсе нечего было дѣлать, потому что въ дѣйствіи были только двѣ промывальни и раскопка земли производилась въ одномъ мѣстѣ, такъ какъ въ остальныхъ золота не находили, и ихъ бросили. Но и въ этихъ промывальняхъ очень мало промывалось золота. Довѣренный сердился, распекалъ казаковъ за то, что они даромъ получаютъ деньги и дѣйствуютъ съ рабочими заодно. Онъ никакъ не хотѣлъ вѣрить тому, что золота мало. А зима между тѣмъ свирѣпствовала, рабочіе голодали и ежедневно осаждали избу довѣреннаго, прося денегъ. Горюновъ видѣлъ, что дѣло плохо, и говорилъ объ этомъ Кирпичникову, но тотъ хотѣлъ взять строгостью, хотя отъ этого дѣло не поправилось: рабочіе, въ томъ числѣ и женщины, разошлись; съ ними ушелъ и Ульяновъ. На пріискѣ осталось только двое рабочихъ, Иванишевъ и Анучкинъ, и два брата Глумовы, изъ коихъ первые чего-то выжидали, а послѣднимъ некуда было дѣваться, потому что ихъ дядя, съ которымъ они пришли на пріиски, былъ кѣмъ-то убитъ прошлою осенью. Горюновъ обласкалъ ребятъ и помѣстилъ даже жить съ собой въ кухнѣ довѣреннаго, гдѣ онъ уже имѣлъ пріятельницу, тридцатипяти-лѣтнюю женщину, Офимью Голдобину, которая и прежде стряпала здѣсь на начальство.

Довѣренный очень запечалился и не зналъ, что ему дѣлать. Чиновникъ уѣхалъ сдавать золото, уѣхалъ и приказчикъ разыскивать рабочихъ. Но дня черезъ три послѣ ихъ отъѣзда ночью уѣхалъ и довѣренный съ Иванишевымъ. Запечалились и остальные, потому что довѣренный забралъ всѣ свои бумаги и всѣ вещи и ничего не сказалъ Горюнову.

— Бросили! экая оказія...—горевалъ Горюновъ.

— Зато теперь мы поживемъ... Давайте сами промывать золото!—сказала неожиданно Офимья.

— Будь ты проклятая чуча!.. Гдѣ мы его возьмемъ?—сказалъ Анучкинъ.

— Полно-ко, батюшка!.. Будто я не знаю, что у тебя на умѣ!

— Ну, коли знаешь, такъ молчи. Однако гдѣ же это ты нашла такое золото?

— Какъ гдѣ? а вверхъ по рѣчкѣ!

Анучкинъ поблѣднѣлъ.

— Что, небось, отгадала... Я, братъ, все знаю, какъ ты оттуда по ночамъ руду носишь мѣшками, на промывальни...

— Ну, ужъ молчи, пожалуйста!

— Небось, одинъ хочешь все себѣ забрать?

Хлѣба у нихъ было еще недѣли на двѣ; Костромины сбирались уѣзжать, но Анучкинъ ихъ отговаривалъ тѣмъ, что надо подождать до лѣта, авось пріискъ перейдетъ въ другія руки, и объявилъ, что онъ знаетъ, гдѣ есть руда и руда богатая, только нужно достать лошадей и телѣги.

На другой день явилось на пріиски шесть крестьянъ съ шестью телѣгами. На общемъ совѣтѣ было рѣшено, чтобы золото дѣлить поровну между Костроминымъ, Офимьею, Горюновымъ и Анучкинымъ, какъ главными руководителями этого дѣла, съ тѣмъ, что они должны объ этомъ молчать и хранить золото къ секретѣ; остальнымъ назначена была плата при хорошей вымывкѣ по пятидесяти копеекъ, а при плохой—по двадцати пяти копеекъ въ сутки. За работу принялись всѣ: Костромины, Офимья съ Горюновымъ, Анучкинымъ и Глумовыми. Одни изъ нихъ копали и возили руду въ пошевняхъ къ ближней промывальнѣ. Каждый отдыхалъ не больше двухъ часовъ въ сутки; о пищѣ заботились тоже мало. Руда была дѣйствительно богатая, такъ что въ первые дни намывали золота до десяти золотниковъ, а на второй недѣлѣ въ каждыя сутки получалось не менѣе четверти фунта. На третьей недѣлѣ наши рабочіе хотѣли отдохнуть и раздѣлить между собою безъ спору золото. На долю Терентія Иваныча пришлось четверть фунта. Костроминъ уговорилъ своихъ товарищей свезти золото на храненіе къ своему пріятелю, живущему въ двадцати верстахъ отъ пріисковъ, старцу Якову.

Старецъ Яковъ жилъ въ такомъ мѣстѣ, что лѣтомъ добраться до него могъ только человѣкъ, знающій одну тропинку. Онъ жилъ въ небольшомъ домикѣ съ двумя сыновьями, которые работали на

разныхъ пріискахъ лѣтомъ, а зимою приходили къ нему. Домъ былъ окруженъ густымъ сосновымъ лѣсомъ; этотъ лѣсъ съ своей стороны былъ окруженъ очень топкимъ болотомъ. Поэтому къ обиталищу Якова были положены въ одномъ мѣстѣ въ травѣ жердочки, по которымъ могъ ходить только человѣкъ привычный, понимающій, что̀ такое равновѣсіе, потому что въ эту тину уходила цѣлая сажень, если не больше. Въ вѣтеръ по этой импровизированной дорогѣ никто не рѣшался идти, потому что держаться приходилось только за тонкій камышъ. Весною вся эта мѣстность верстъ на пятнадцать ширины заливалась водой, и среди нея красовалось нѣсколько островковъ. Къ этому времени Яковъ и его сыновья запасались на весь годъ мукою, переправляя ее въ лодкѣ, и въ это же время Яковъ ѣздилъ къ одному богатому городскому купцу, тоже раскольнику, которому и сбывалъ золото. Впрочемъ Яковъ не постоянно сидѣлъ въ своемъ гнѣздѣ. У него много было дѣла и зимой, и лѣтомъ; но зимой его труднѣе было застать дома, потому что тогда онъ больше всего опасался облавы. Лѣтомъ онъ зналъ, что до него невозможно добраться, зимой же на его гнѣздо могли набѣжать бѣглые и разболтать о немъ. Кромѣ же бѣглыхъ въ эту мѣстность, по его соображенію, попасть было некому, такъ какъ кругомъ жили раскольники и только развѣ могли зайти сюда еще землемѣры или межевщики, но и отъ нихъ пока Богъ миловалъ. Яковъ былъ извѣстенъ на большомъ пространствѣ; Яковъ держалъ, такъ сказать, на помочахъ раскольниковъ; безъ Якова ни одинъ раскольникъ не смѣлъ заявить о какомъ-нибудь открытомъ имъ мѣстѣ золотого песку,—въ противномъ случаѣ съ такимъ человѣкомъ разговаривать недолго. Яковъ заботился о томъ, чтобы раскольники были сыты, и если уже имъ было плохо, то онъ разрѣшалъ объявить о такомъ-то мѣстѣ человѣку наибольшему, но ничего не смыслящему въ пріисковомъ дѣлѣ, и этого человѣка указывалъ самъ, такъ какъ онъ имѣлъ отъ своихъ большія свѣдѣнія о всемъ, что̀ главнѣйшимъ образомъ творится въ государствѣ. Яковъ былъ извѣстенъ и начальству, которому давно хотѣлось словить его; оно подозрѣвало Якова въ дѣланіи фальшивыхъ денегъ, фальшивыхъ серебряныхъ и золотыхъ монетъ, приписывало ему грабежи и убійства, хотя онъ во всемъ этомъ нисколько не былъ виноватъ; полиціи вступали одна съ другою въ полемику изъ-за него, но Яковъ свободно жилъ въ своемъ гнѣздѣ, гостилъ тамъ, гдѣ ему было хорошо, и являлся на пріискахъ. Якова любили всѣ тѣ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло, считали его за добрѣйшаго человѣка и берегли его.

Зимой постоянныхъ дорогъ къ Якову не было проложено, потому что тѣ, которые знали его, ходили къ нему на лыжахъ, чтобы не оставалось слѣда. Лошади оставлялись на привязи въ лѣсу подъ чьимъ-нибудь присмотромъ, недалеко отъ узенькой дорожки, проложенной дроворубами.

Костроминъ сказалъ Горюнову и Анучкину, что онъ пойдетъ одинъ для переговоровъ съ Яковомъ

— Хорошо еще, согласится онъ видѣть васъ. Вѣдь въ вашу душу не залѣзешь,—говорилъ онъ строго.

— Пожалуй, Дороѳей Леонтьичъ... Мы понимаемъ,—говорилъ Анучкинъ.

— Тебя-то возьму, пожалуй, а ты, Терентій, подожди... Ты, пожалуй, дай мнѣ на всякій случай золото-то.

Терентій Ивановичъ задумался: «а если они меня обманутъ?»

— Неужели ты думаешь, что мы съ худымъ намѣреніемъ взяли тебя съ собой?.. Умѣешь ли ты на лыжахъ ходить?

— Умѣю.

— Однако намъ нельзя покинуть лошадь... Такъ какъ?

Горюновъ отдалъ золото. Костроминъ и Анучкинъ ушли... Скоро Горюновъ потерялъ ихъ изъ вида, и какъ ни заглядывалъ во всѣ стороны, заходя въ лѣсъ, не могъ отыскать ихъ.

Избушка Якова была бревенчатая съ двумя окнами, выходящими на югъ и западъ. Въ углу, противъ южнаго окна, была большая печь съ лежанкою. На стѣнахъ между оконъ были наставлены одинъ на другой мѣдные образа. При входѣ Костромина съ Анучкинымъ, Яковъ, высокій, худощавый старикъ съ черными волосами и бородой, въ скуфейкѣ и черномъ кафтанѣ, опоясанномъ бичевкой, сидя на скамьѣ, разговаривалъ съ двумя раскольниками, ушедшими недавно съ удойкинскихъ пріисковъ.

— Изсякли?!—сказалъ, улыбаясь, Яковъ послѣ обычныхъ обрядностей.

— Богъ не безъ милости, — проговорилъ Костроминъ.

— Благодареніе Богу. Надежный ли тамъ караульникъ-то?

— Кто его знаетъ... Мы съ нимъ работали, такъ онъ намъ нравится... Впрочемъ я его взялъ для того, чтобы онъ не убѣжалъ и не объявилъ... А вѣдь мы намыли не мало, съ помощью Божіею... Ну, а отсюда онъ не уйдетъ. Тамъ въ буракѣ пиво. Мы его смѣшали съ табакомъ для крѣпости.

— Ну, такъ какъ же ты, Дороѳей, думаешь?

— Да вотъ Тарасу Трифонычу Анучкину теперь очередь.

— Я давно знаю объ этомъ мѣстѣ, и другое у меня есть на примѣтѣ... А дѣло наше такое, того и жди, чтобы не наѣхали... Только наврядъ ли и тамъ будетъ много золота, потому довѣренный, извѣстно, въ этомъ дѣлѣ не смыслитъ. Столбы наставятъ, начнутъ рыть канавы, настроятъ избъ и промывальни тамъ, гдѣ не слѣдуетъ... Неужели я стану указывать!

— А если тебя сдѣлаютъ довѣреннымъ? Полноко морочить старыхъ людей! Давно тебѣ, какъ видно, хочется въ начальство попасть, да воли нѣтъ... Охо-хо!.. Замѣчаю я, нѣтъ нынче въ людяхъ той крѣпости, какъ въ прежніе годы; ненадежны стали нынѣшніе люди. Отчего прежде объ этомъ краѣ и разговору не было? Отчего нынче здѣсь ужъ до сотни пріисковъ разработывается?

— Но вѣдь всѣ почти брошены, хоть и въ нихъ есть золото.

*

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, отчего прежде-то объ здѣшнемъ краѣ не было и рѣчи? всѣ считали здѣшнія мѣста за самыя негодныя?.. Оттого, что жадность человѣка такова: ты ему дай щей, онъ захочетъ каши; ты ему рубль, онъ проситъ два... Обычаи городскіе стали нравиться, водка стала лучше браги; мало одной жены, по двѣ завели... Поневолѣ жадность явится.

— Пожилъ бы ты въ мірѣ! — сказалъ недовольно Анучкинъ.

— Слава Богу, сорокъ лѣтъ выжилъ,—это мнѣ не укоръ, да и я не про тебя говорю. Ты бѣглый, тебѣ едва ли ловко въ городъ-то явиться!

— Я на Дороѳея полагаюсь. Пусть онъ будетъ довѣреннымъ.

— Избави Богъ! Пусть лучше внукъ мой будетъ.

— Дѣлайте, какъ знаете. А все бы обождать не мѣшало, потому что теперь многіе изъ господъ поостыли... ха-ха! Смѣшно мнѣ, право, на этихъ людей: заслышали они, что есть въ здѣшнемъ краю золото, и думаютъ, что его можно лопатами грести. Что-жъ? Подождите немного; можетъ, какой-нибудь денежный баринъ и рѣшится довѣрить, Костроминъ, твоему сыну... Ну, а ты, Тарасъ, помогай, да больше о своихъ старайся; дѣлай такъ, чтобы и тебѣ было хорошо, и барину, и намъ.

Скоро гости разстались съ хозяиномъ, который далъ за золото денегъ и обѣщался извѣстить, когда пронюхаетъ про простоватаго, но денежнаго барина.

— Я ужо сына своего Никифора пошлю по веснѣ развѣдать, и если онъ узнаетъ, то предложитъ барину такъ: скажетъ, что онъ пришлетъ ему и мужика, который знаетъ мѣсто, и довѣреннаго. Ну, разумѣется, объяснитъ все, какъ слѣдуетъ, и Тарасу нечего будетъ бояться, потому богатство милѣе порядковъ: и бѣглаго съ почетомъ принимаютъ, гдѣ нужно.

Съ ними вышли и другіе два раскольника, которые обѣщались хранить въ секретѣ совѣтъ Якова съ тѣмъ условіемъ, чтобы имъ плата производилась больше другихъ и у нихъ не отнимали бы золото. Костроминъ далъ Терентію Иванычу двадцати-пяти рублевую бумажку. Терентій Иванычъ посмотрѣтъ на свѣтъ бумажку, тщательно ощупалъ ее и повидимому не рѣшался брать.

— Думаетъ, фальшивая! Ошибаешься, другъ. Яковъ этими вещами не занимается,—голову могу положить на отсѣченіе, вотъ что.

— Нѣтъ... мало...

Костроминъ захохоталъ. Товарищи торопили Костромина ѣхать.

— Ты знаешь ли толкъ-то въ деньгахъ?— спросилъ вдругъ Костроминъ Горюнова.

— Не ты одинъ!—началъ Горюновъ; но Костроминъ опять захохоталъ.

— Говорилъ бы—слава Богу, что и это дали! Въ своемъ заводѣ тебѣ и во снѣ не приснились бы такія деньги,—говорилъ Анучкинъ, садясь въ пошевни, въ которыхъ уже сидѣли остальные. Костроминъ стегнулъ лошадь.

— Дороѳей Леонтьичъ!.. Подожди меня-то,— сказалъ Горюновъ, нагоняя лошадь.

— Нѣтъ, мы тебя не возьмемъ! Ты недоволенъ. .

— Что дѣлать... я ничего...

— Иди, куда хошь, а ты намъ не товарищъ.

Цѣлый часъ Горюновъ шелъ за пошевнями, упрашивая, чтобы его взяли, говоря, что онъ доволенъ всѣмъ; цѣлый часъ Костроминъ и его товарищи не хотѣли брать его съ собой, совѣтуя ему идти туда, гдѣ лучше и гдѣ больше даютъ денегъ. Но все-таки, проѣхавши верстъ пять, они посадили его, взявъ съ него клятву, чтобы онъ молчалъ объ этой поѣздкѣ и не выдавалъ ихъ начальству.

Теперь у Горюнова исчезли всѣ мечты о забраніи въ свои руки пріиска. Онъ ясно понималъ, что попалъ въ ежовыя рукавицы и долженъ будетъ работать на тѣхъ же, которыхъ онъ считалъ своими товарищами и въ рукахъ которыхъ находились пріиски; эти люди знаютъ пріисковое дѣло; въ сбытѣ золота не затрудняются, да и по прекращеніи работъ найдутъ поддержку, какъ вотъ и эти двое раскольниковъ, ушедшіе съ пріисковъ назадъ тому мѣсяцъ. Они и рабочихъ найдутъ, потому что въ окрестности всѣ жители знаютъ ихъ... А онъ пришлецъ, мечталъ... «Да, не легко, Тереха, деньги достаютъ и на золотыхъ пріискахъ. Ужъ кажется ничего нѣтъ дороже золота, а и тутъ золото ни во что мнѣ поставили. И какъ я надѣялся, что на золотыхъ непремѣнно накоплю большой капиталъ и умру я не въ бѣдности! а дѣло-то выходитъ, что здѣсь еще пожалуй хуже: того и бойся что или убьютъ тебя, или ты поробишь, поробишь да съ тѣмъ же и уйдешь, съ чѣмъ пришелъ».

Но гдѣ же лучше?—спрашивалъ себя Терентій Иванычъ. Что скажутъ ему его пріятели, родные, когда онъ воротится къ нимъ и когда ему нечѣмъ будетъ похвастаться... Вѣдь и самъ Терентій Иванычъ видалъ у бѣглыхъ мастеровыхъ золото, и Коротаевъ съ нимъ нерѣдко ѣздилъ въ городъ съ золотомъ. «Не надо было мнѣ отдавать золото Костромину; надо бы мнѣ было спрятать его, а потомъ и я бы привезъ золото въ городъ», подумалъ было онъ, но потомъ ему представились всѣ опасности, какимъ подвергаютъ себя на каждомъ шагу рабочіе внѣ пріисковъ, имѣя у себя золото, и то, какъ имъ дешево платятъ за него ловкіе люди... Что же дѣлать? Неужели идти назадъ? Но куда идти съ этими двадцатью пятью рублями, которые можетъ быть еще и не деньги, а просто фальшивая бумажка? Да опять и то надо подумать: вѣдь онъ только-что началъ жизнь на пріискахъ. Люди живутъ на пріискахъ десятки лѣтъ, и все-таки не тянетъ ихъ въ другія мѣста... А Костроминъ еще беретъ его къ себѣ въ компанію.

Всѣ эти размышленія убѣдили его, что ему надо пожить и потерпѣть на пріискахъ: «авось, можетъ быть Богъ и поможетъ мнѣ выдти изъ бѣдности въ люди».

Костроминъ съ товарищами застали на пріискахъ земскую полицію, нѣсколько человѣкъ изъ прежнихъ рабочихъ, въ числѣ которыхъ былъ и Улья-

новъ, приказчика, Иванишева и какого-то пожилого низенькаго человѣка въ енотовомъ тулупѣ. Они бродили около рѣчки и около ископанной недавно Костроминымъ мѣстности. Нѣсколько новыхъ рабочихъ съ крестьянами, работавшими съ Костроминымъ, тесали бревна, копали землю и въ разныхъ мѣстахъ ставили столбы. Какой-то господинъ въ легкомъ пальто что-то чертилъ на бумагѣ.

— Выдалъ, подлецъ!.. Ахъ, разбойникъ!—говорили Анучкинъ и Костроминъ, услыхавъ отъ одного новаго рабочаго, что сюда пріѣхалъ открывать новый пріискъ самъ главный довѣренный, и что Кирпичниковъ уже не пріѣдетъ, такъ какъ Иванишевъ на него насказалъ много нехорошаго главному довѣренному.

Костроминъ и Анучкинъ очень сердились на Иванишева за то, что онъ, не спросясь ихъ, продалъ телку; теперь оказалось, что и Костроминъ, и Анучкинъ оба знали объ этой телкѣ, каждый разсчитывалъ на нее, считая ее неистощимымъ богатствомъ, которое они берегли много лѣтъ, и къ которому приступили только потому, что имъ нечего было ѣсть. Про это-то мѣсто они и говорили Якову. И вдругъ ихъ же товарищъ, свой человѣкъ, передалъ это мѣсто въ руки того же барина, которому указалъ Удойкинскій пріискъ Костроминъ.

По отъѣздѣ полиціи, главный довѣренный выдалъ всѣмъ рабочимъ не въ счетъ жалованья десять рублей для того, чтобы расположить ихъ къ себѣ, и приказалъ имъ начать работы на новомъ мѣстѣ. Костроминъ съ товарищами махнули на все рукой и остались на пріискѣ.

Съ вечера началось пьянство на всемъ пріискѣ; только Костроминъ съ товарищами, въ томъ числѣ и Терентій Иванычъ, принятый въ ихъ компанію, долго вели между собой бесѣду, заключавшуюся въ томъ, чтобы Костромину попрежнему заниматься съ семействомъ торговлей, а прочимъ работать, но такъ какъ и этотъ довѣренный назначаетъ плату поденно, то если кто-нибудь изъ нихъ узнаетъ, гдѣ находится богатое мѣсто, стараться скрыть его и копать въ другомъ мѣстѣ.

XVII.

Пелагея Прохоровна, какъ читатели видѣли, жила уже нѣсколько времени въ городѣ. Читатели также, надо полагать, замѣтили, что она жила въ разныхъ мѣстахъ въ кухаркахъ. Жизнь ея была вездѣ нехороша, и ей приходилось часто мѣнять мѣста, но все-таки хорошаго мѣста на ея долю не выпало. На послѣднемъ мѣстѣ она жила долго, но вдовецъ-хозяинъ сталъ ей предлагать очень нехорошія условія, на которыя она не согласилась, а именно—быть его любовницей. Поэтому она рѣшилась удрать отъ хозяина, и такъ какъ паспортъ былъ у нея въ рукахъ, то она, завязавши свое имущество въ платокъ, вышла изъ дома, въ которомъ жила. Было еще очень свѣтло, когда Пелагея Прохоровна вышла съ узелкомъ на улицу. Солнце уже сѣло, и надъ сѣверо-западной частью города на небѣ отливались золотистыя, фіолетовыя и розовыя гряды горъ. Нѣсколько городскихъ барышенъ, стоя у городскаго пруда въ одиночку, упершись въ чугунную рѣшетку, задумчиво смотрѣли на отражающіеся въ тучахъ лучи солнца—и мечтали. Вечеръ былъ тихій, прохладный; пыль, поднятая днемъ съ улицъ, постепенно садилась на строенія и на землю. Ѣзды было не слышно; служащій народъ, чиновники, послѣ дневныхъ занятій, большею частью холостые и семейные, безъ женъ и дѣтей, вышли къ пруду и на бульваръ, а нѣкоторые изъ нихъ садились на пароходъ и плыли къ дачѣ, отъ которой слышалась музыка и часть которой была освѣщена фонарями. Очень немногіе шли въ соборъ посмотрѣть, не свадьба ли тамъ, потому что у собора стояло два извозчика. Нельзя сказать, чтобы народъ этотъ былъ веселъ; на всѣхъ лицахъ замѣтно было или уныніе, или тоска, или зависть.

Пелагея Прохоровна робко шла до пруда. Ее нисколько не удивила гуляющая публика; напротивъ, она занята была своимъ положеніемъ, чувствовала, что теперь она свободна, но что-то такое тяготило ее, въ головѣ ея какъ будто пусто стало. Она шла, сама не зная куда. На пруду въ это время плылъ пароходъ очень медленно. На пароходѣ пѣсенники орали уже полупьяными голосами «Внизъ по матушкѣ, по Волгѣ». За пароходомъ плыла лодка, въ которой пѣли нѣсколько человѣкъ приказныхъ изъ соборныхъ пѣвчихъ «Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту». Впереди парохода и рядомъ съ нимъ плыло тоже нѣсколько лодокъ съ любителями духовныхъ и свѣтскихъ пѣсенъ, которые старались подтянуть пѣвчимъ со всѣмъ усердіемъ.

Все это издалека привлекало сюда праздный народъ въ родѣ чиновниковъ, дѣвицъ съ шляпками и безъ шляпокъ: сюда шли подмастерья, покончившіе со своею работою, какъ и другіе любители приключеній. Народу было много. Народъ толкался, хохоталъ, острилъ насчетъ другихъ, особенно насчетъ молодыхъ незнакомыхъ женщинъ. Кончилась пѣсня, сотня голосовъ закричала «фора! еще!» и начались ругательства, крики. Пелагея Прохоровна пошла прочь, не обращая вниманія на любезности халатниковъ, предлагавшихъ ей пройтись съ нею. Она шла задумавшись. Вдругъ она увидала на тротуарѣ сидящую женщину, которая держала на колѣняхъ ребенка.

— А! это ты!—сказала женщина, узнавъ Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна была очень удивлена тѣмъ, что эту женщину она гдѣ-то видѣла, лицо ей довольно хорошо было памятно, но гдѣ она видала ее, кто̀ она такая,—она никакъ не могла припомнить.

— Аль не узнала? Богата вѣрно стала ноньче.— И женщина такъ поглядѣла на узелокъ Пелагеи Прохоровны, что та стала сама не своя. И голосъ знакомый, рѣзкій, и улыбка, отъ которой ее когда-то коробило, знакомая ей.

Вдругъ она вскрикнула ей:

— Катерина Васильевна!

— То-то... Ты куда идешь?

— На гуляньѣ была...

— Счастливая!—и Катерина Васильевна тяжело вздохнула, потомъ сказала:

— Ты безъ мѣста? Иди ко мнѣ ночевать!

— Покорно благодарю.

— Полно-ко дурить! Иди... Ахъ ты проклятенный! Смучилъ ты меня... — говорила она, тормоша ребенка, который ежился и охриплымъ голосомъ кричалъ и часто кашлялъ.

— Царица небесная! — проговорила женщина съ отчаяніемъ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ жалко стало прежней Катьки, которая назадъ тому полтора года часто была прогоняема отъ разныхъ господъ за воровство и дурное поведеніе, слыла между кухарками за самую отчаянную дѣвку, не имѣвшую ни стыда, ни совѣсти. И каково же было удивленіе всѣхъ прачекъ и кухарокъ, когда она объявила, что скоро выходитъ замужъ за мастерка, и даже назначила день свадьбы. Сначала думали, что это такъ, мало ли что можетъ наболтать бѣшенная Катька, но черезъ недѣлю всѣ кухарки и прачки узнали, что въ церкви уже было два оглашенія о свадьбѣ Катерины, и Катька стала называться съ тѣхъ поръ Катериной Васильевной, ею стали больше прежняго интересоваться, заискивать ея расположенія для того, чтобы узнать ея жениха, о которомъ ходили разные слухи. Одни говорили, что онъ въ городѣ первый *гранильщикъ*, то-есть отчаянный воръ и головорѣзъ; другіе, что онъ для того только и женится на Катеринѣ, чтобы жить на ея счетъ, такъ какъ она работящая баба. Какъ бы то ни было, а Катерина Васильевна вышла замужъ и свадьбу ея имѣли удовольствіе видѣть около десяти прачекъ и кухарокъ, и эти смотрины пришлись имъ не по сердцу, потому что Катерина Васильевна ихъ вдосталь удивила: женихъ ея былъ высокій, здоровый, красавецъ, а главное—молодъ, такъ что на взглядъ ему было не больше двадцати лѣтъ.

Съ тѣхъ поръ въ тѣхъ порядкахъ или частяхъ города, откуда собирались на прудъ прачки и кухарки, никто уже не видалъ Катерины Васильевны, точно она уѣхала куда-нибудь. Потому и не мудрено, что Пелагея Прохоровна, не принимавшая и прежде явнаго участія въ сужденіяхъ о ней, мало была знакома съ нею и не любила ея, какъ женщину бойкую и болтливую. Теперь же, встрѣтившись съ нею на улицѣ ночью и видя ее плачущею и проклинающею ребенка, она рѣшительно не понимала, что̀ такое случилось съ этой бойкой женщиною.

— Горе мое! горе мое!—стонала Катерина Васильевна. Но слезъ у нея теперь не было, только лицо ея подергивалось. Пелагея Прохоровна при лунномъ свѣтѣ замѣтила, что лицо ея—кожа да кости, а прежде какая она была здоровая!

— Катерина Васильевна! Дай мнѣ ребенка-то: простудишь... Вѣтрено.

— Пусть колѣетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно? Бога-то ты не боишься!

— Что мнѣ съ нимъ... Совсѣмъ разорилась. Хоть бы собака была въ домѣ-то!.. Хоть бы старуха какая... Голубушка, ночуй ты у меня эту ночку; ничего я не могу сдѣлать съ ребенкомъ-то.

Пелагея Прохоровна молча согласилась. Катерина Васильевна шла рядомъ съ ней и тоже молчала. Ребенокъ хрипѣлъ. Пелагея Прохоровна думала о настоящемъ положеніи этой женщины, но заговорить ей было неловко. Ей самой ясно припоминалась ея первая жизнь въ городѣ, и очень хотѣлось помочь Катеринѣ Васильевнѣ, которая уже тѣмъ несчастнѣе ея, что имѣетъ на рукахъ ребенка.

Катерина Васильевна жила совсѣмъ въ противоположной части города и почти въ трехъ верстахъ отъ пруда. Домъ Хорохорова былъ низенькій, деревянный, съ тремя окнами на улицу. Онъ еще издали обращалъ на себя вниманіе тѣмъ, что внутренность его казалась провалившеюся, и что если онъ еще не развалился весь въ разныя стороны, такъ оттого только, что по угламъ бревна были частью скрѣплены желѣзными толстыми полосами и частью упирались въ столбы. Всякій, кто шелъ мимо этого ветхаго дома, съ заколоченными двумя окнами, съ прогнившею крышей, на которой тамъ и сямъ росла трава, безъ тротуара, а съ засоренной канавкой, всякій улыбался и говорилъ: и должно быть домъ-то старѣе заплотовъ! Да это отчасти и оправдывалось тѣмъ, что ворота запирались хорошо и доски на заплотѣ были еще довольно крѣпки и даже наверху заплота были вбиты гвозди, такъ что домъ походилъ на развалившееся укрѣпленіе въ которое гораздо легче войти не черезъ заплотъ, потому что стоитъ только дернуть за доску крыши, какъ крыша и разсыплется. Во дворѣ было еще хуже: заднія постройки и крылечко у дома провалились. Огородъ только отчасти огораживался, и поэтому сосѣди рады были случаю пустить въ него свою скотину. Только одна баня, съ крышей на ней и маленькимъ окошечкомъ, была крѣпче обиталища хозяевъ. Въ огородѣ хотя и были посажены овощи, но гряды всѣ перетоптаны и изъ нихъ все повыдергано. Кромѣ этого, полицейское начальство давно уже дѣлало распоряженіе о томъ, чтобы этотъ домъ съ задними его постройками, въ видахъ искорененія безобразія, былъ сломанъ, но этотъ приказъ не былъ исполняемъ не только новыми его хозяевами, Хорохоровыми, но и прежними. Впрочемъ и сосѣдямъ не нравился этотъ домъ, и они постоянно говорили, что въ немъ уже нѣсколько лѣтъ живутъ или бѣглые, или мошенники, и поэтому трое сосѣдей зорко слѣдили за нимъ.

Пелагея Прохоровна удивилась, увидавъ, что, не смотря на то, что въ кухнѣ полъ кривой и половицы шатаются, вездѣ было очень чисто, свѣтло и привѣтливо. Такъ что, судя по убранству кухни, можно было подумать, что хозяйка не такъ бѣдна, какъ она говоритъ. Столъ хотя и простой работы, но окрашенный, стѣны оклеены «Сенатскими Вѣдомостями», кровать занавѣшана и за занавѣской виситъ мужской халатъ, исковерканная проволока отъ кринолина, зимній женскій шугайчикъ и еще что-то въ родѣ тулупа; въ переднемъ углу два образа съ посеребренными окладами, передъ ними въ бумажномъ плетеномъ кошелькѣ висятъ два позоло-

ченныхъ пасхальныхъ яйца; по обѣ стороны этихъ образовъ и подъ ними стѣна изукрашена картинами духовнаго содержанія.

Въ кухнѣ не было жарко, какъ бываетъ въ другихъ кухняхъ, въ которыхъ топятъ печи, жарятъ и пекутъ; просыпающіяся мухи жужжали, но, какъ видно, и ихъ было немного. Пелагею Прохоровну еще болѣе прежняго удивило отсутствіе не только мужчины въ кухнѣ, но даже и лѣтней мужской одежды, кромѣ халата. Однако она не рѣшилась спросить хозяйку объ этомъ предметѣ, да и хозяйка укачивала ребенка, напѣвая усыпляющія пѣсенки. Хозяйка прилегла на кровать и проговорила:

— Одно къ одному такъ и идетъ: вотъ корова теперь перестала доить и изволь ее дожидаться, скоро ли она отелится. Опять тоже и кормить ее надо, а корма-то нонѣ, не приведи Богъ, какъ дороги! Купишь сѣна пудъ, глядишь, на другой день ужъ и нѣтъ, потому заплотовъ нѣтъ. Николай-то Иванычъ такъ и купилъ мѣсто безъ заплотовъ. Сосѣди все и таскаютъ... А своего покоса нѣтъ, потому мѣщанамъ не даютъ покосовъ.

Обѣ молчали нѣсколько минутъ.

— Гдѣ же у те мужъ-то?—спросила вдругъ Пелагея Прохоровна и почувствовала, что она нехорошо сдѣлала.

— Въ острогѣ.

— Что ты?

— Оказія вышла... Не шуточное дѣло! И совсѣмъ не виноватъ, а все своя оплошность дурацкая. Вишь ты, онъ больно любилъ рыбу ловить и лѣтомъ часто уходилъ рыбачить или сюда на прудъ, или куда-нибудь на озеро. И лодку свою имѣлъ, и припараты рыболовные имѣлъ всякіе, только теперь я ихъ всѣ распродала почти задаромъ. Такъ тутъ одново раза лѣтомъ, почитай въ то время, какъ малину носить, онъ и отправился съ однимъ своимъ пріятелемъ верстъ за семь отъ города... Чрезъ двое сутки пріѣзжаютъ они—Николай Иванычъ и пріятель, оба подпивши; рыбы было порядочно. Раздѣлили они рыбу межъ собой; я сварила уху, пріятель сходилъ за водкой, выпили всѣ, и я тоже. Только я и спрашиваю: а что молъ Петрову много вы отдали? Пріятель и говоритъ: нашъ, говоритъ, Иванъ сталъ болванъ, потому, говоритъ, что какъ только мы утромъ пробудились, его и слѣдъ пропалъ. А онъ, говоритъ, съ вечера былъ хорошо пьянъ.—Мужъ говоритъ: мы искали, искали его и слѣдовъ нѣтъ. Знать, говоритъ, ушелъ въ село: тамъ есть дѣвицы, съ которыми онъ знакомъ. Ну, мы тогда посмѣялись,—тѣмъ дѣло и кончилось. Только на третій день послѣ этого и приходитъ къ намъ работникъ Петрова и спрашиваетъ про Ивана. Ну, знамо, не искать же намъ его. Сказываетъ, посылали и въ село, да и тамъ не нашли. Вотъ и привязались къ моему мужу и его пріятелю: — куда дѣвали Ваньку Петрова? А потомъ вдругъ и объявили мастерки, что они нашли его убитымъ въ кустахъ. Повезли нашихъ молодцовъ туда, они съ бухты-барахты и покажи то мѣсто, гдѣ они ночевали въ послѣдній разъ, а отъ этого мѣста на разстояніи какой-нибудь полверсты текла въ озеро рѣчка, въ ней и нашли Петрова. Ужъ такъ, говорятъ, онъ изуродованъ, не приведи Богъ! Кто-то такъ хватилъ его по головѣ, что голова на двѣ половины разсѣчена... Мой мужъ и пріятель говорили, что они въ этомъ дѣлѣ ни капельки неучастны и что никакого крика не слыхали, потому что спали крѣпко, а что вѣрно Петрова укокошили мастерки, потому они до него давно добирались: разъ—онъ обсчитывалъ ихъ деньгами за камни, другой—они давно хотѣли задать ему мятку за своихъ бабъ и дѣвокъ. Но какъ они ни отпирались, а ихъ все-таки посадили въ острогъ, потому что придирались къ мужнину топору и его халату; въ крови,—такъ значитъ и человѣка убилъ. Мы хоть и говорили, что около этого времени мужъ теленка кололъ въ халатѣ, а топоромъ отрубалъ голову, кою я сварила въ студень. А что топоръ былъ не вымытъ, такъ потому, что въ немъ не было больше надобности. Нѣтъ, не повѣрили! И вотъ уже годъ скоро кончается, какъ онъ сидитъ... Сказывали мнѣ на прошлой недѣлѣ, что въ судѣ чиновникъ рѣшенье пишетъ и что хочетъ обоихъ въ каторгу... Я испугалась... Охъ, мать Пресвятая Богородица! знаю я, что мой мужъ не только убить не въ состояніи, а даже и поколотить человѣка. Онъ ежели курицу заколетъ, такъ ни за что ѣсть не станетъ: даже и теленка не ѣлъ, я уже обманомъ кормила его... Бѣгала я и къ секретарю—нельзя, говоритъ. Я прошу: вы бы слѣдствіе тамъ въ селѣ произвели, можетъ, кто изъ тамошнихъ убилъ Онъ меня прогналъ и сказалъ: курицу яйца не учатъ. Бѣгала къ судьѣ—никакъ не могла застать дома, а наконецъ и гнать стали отъ дома. Сколько однихъ прошеньевъ носила стряпчему—не принимаетъ... А народъ тамъ въ селѣ, охъ! такой злой и изъ воды сухой выдетъ; поэтому вѣрно и побоялись пытать ихъ. А онъ, мой голубчикъ... спичка-спичкой сталъ!.. Въ воскресенье была у него—кашляетъ безпрестанно, кровью харкаетъ .. Просился въ лазаретъ—не пускаютъ: для убійцъ тамъ, сказываютъ, нѣтъ мѣстовъ.

Катерина Васильевна замолчала, но она не плакала, а сидѣла, уперевъ лѣвой ладонью щеку и качала головой; лицо ея немножко подергивало. Пелагея Прохоровна сидѣла блѣдная и смотрѣла въ уголъ. Ей жалко было очень Катерину Васильевну, которая была, по ея мнѣнію, въ тысячу разъ несчастнѣе ея. Вотъ она, бойкая-то женщина... О, Владычица!..

— Катерина Васильевна!—сказала шопотомъ Пелагея Прохоровна, потому что у нея во рту было сухо.

Та не только не отвѣтила, но даже и не поглядѣла на нее. Она повторила. Та промычала.

— Ты бы заснула! Успокойся маленько, пока ребенокъ-то спитъ.

— Не хочется мнѣ спать-то... Свѣтло ужъ.

Между обѣими женщинами было много разницы. Хозяйка хотя была и высокая, но, по народному выраженію, худа, какъ спичка. Она, казалось, нисколько не заботилась о своемъ нарядѣ: платьишко во многихъ мѣстахъ продралось, подолы заскорбли отъ грязи, рукава оборваны, руки, лицо и шея давно не мыты и только, если чѣмъ она можетъ кому-нибудь понравиться, такъ это развѣ правильнымъ очерта-

ніемъ блѣднаго лица, которое, несмотря на отпечатокъ на немъ горя, все-таки еще было красиво. Но зато это была жена обвиненнаго въ убійствѣ, жена будущаго каторжника, жена опозореннаго и не имѣющаго никакихъ правъ и преимуществъ человѣческихъ въ жизни... Пелагея Прохоровна теперь уже не могла сравниться съ прежней девятнадцатилѣтней заводской красавицей, какой она пришла въ городъ въ первый разъ и какой ее встрѣчала въ первое время Катерина Васильевна. Она была двадцати-двухлѣтняя женщина съ загрубѣлымъ и покраснѣвшимъ отъ работы лицомъ, съ твердыми, здоровыми руками. Она пополнѣла, въ глазахъ ея выражалось болѣе осмысленности, губы ея, казалось, мало складывались для улыбокъ. Ея ситцевое платье теперь не сидѣло на ней, какъ прежде, мѣшкомъ, и къ ней уже не шелъ сарафанъ, который она уже два года какъ перешила на юбку и который надѣть ей теперь казалось стыдно. Правда, ея пепельные волосы какъ будто немножко пожелтѣли и порѣдѣли, зато всякій городской рабочій могъ сразу сказать про нее: «вотъ баба, такъ баба! Только бы ей купчихой сдѣлаться, разжирѣла бы на отличку».

Ребенокъ началъ пищать въ люлькѣ. Катерина Васильевна взяла его на руки и стала качать, сказавъ, что у нея у самой молоко высохло.

— Я ужъ четыре раза носила ее въ люди. Въ первый разъ отдала на вскормленье нищей и денегъ ей дала рубль серебромъ впередъ за мѣсяцъ. Только прихожу какъ-то къ заутренѣ, гляжу: на паперти чей-то ребенокъ плачетъ, я поглядѣла— мой. Жалко мнѣ стало. Взяла я его и пошла въ церковь, а нищая-то, коей я дала ребенка, стоитъ въ углу между дверью и стѣной и дремлетъ. Я ее ткнула, она разинула ротъ, изо рта, какъ отъ лаханки, такъ и разитъ винищемъ. Стала молокомъ кормить—покою нѣтъ. Да и сама посуди, что за работа съ ребенкомъ? У меня нѣтъ здѣсь родни, а у мужа и подавно. Пригласила было одну чулошницу къ себѣ жить; такъ она весь день рыскаетъ по городу, а ночью и не добудишься. Взяла дѣвчонку, та платье утащила. А жильца куда пустишь? Тамъ вонъ есть комната, да кто въ нее пойдетъ, потому — потолокъ провалился. А какъ Николай-то Иванычъ покупалъ его еще до свадьбы, такъ и не думалъ, что случится этакая оказія. Хорошо еще, что насъ самихъ не задавило, мы въ тѣ поры ходили за малиной. А вѣдь семьдесятъ пять рублей отдалъ. Я и то ужъ продаю его — какъ на смѣхъ даютъ не больше десяти рублей. Рабочій народъ въ этомъ краю не живетъ. Такъ и ума не приложу, что дѣлать теперь!.. Кабы не ребенокъ, я бы знала, что мнѣ дѣлать. Сегодня вотъ весь день рыскала: всѣхъ докторовъ здѣшнихъ обѣгала—ни одного дома не застала... И какая я прежде была спокойная! А какъ вышла замужъ— и не то стало. Разъ, у мужа не всегда была работа, а если была, то онъ деньги забиралъ впередъ—а попробуй-ко, каково брюхатой бабѣ бѣлье стирать или полы мыть? Вотъ отъ этого, должно быть, я перваго-то ребенка и выкинула мертваго. А все же и весело было съ мужемъ: онъ такой смирной и никогда супротивъ меня не шелъ, и трудились мы, надо правду сказать, другъ для дружки. И каково мнѣ было терпѣть позоръ-то, какъ его посадили въ острогъ: какъ я сказала объ этомъ господамъ, на которыхъ я работала, они и сказали: «ну, матушка, теперь мы тебя увольняемъ отъ работы!—можешь на другихъ, потому ты жена такого-то...» И молоко перестали брать, говорятъ: «можетъ быть, въ молокѣ-то находится кровь...» И чего-чего только я не перетерпѣла!.. Да не уступлю имъ! Буду терпѣть, а по міру не пойду. Здѣсь не будетъ житья,—въ другой городъ пойду.

— Катерина Васильевна, знаешь ли что? Я сама хочу робить: стирать и гладить я умѣю; полы мыть—плевое дѣло,—сказала дрожащимъ голосомъ Пелагея Прохоровна.

— Ты?—спросила хозяйка, и съ удивленіемъ посмотрѣла на гостью.

— Я затѣмъ сюда и пришла въ городъ, да безъ толку. Сама знаешь, сперва я ничего не понимала по-городски, и денегъ у меня не было... И она разсказала про жизнь на промыслахъ.

— Трудное дѣло... А много ли у те капиталу-то?

— Да тринадцать рублей. А кабы братъ не укралъ, было бы много.

— На эти деньги можно... Корову можно рублей за восемь купить; ну, сѣна хоть на два рубля.

— Такъ ты пусти меня къ себѣ,—проговорила робко Пелагея Прохоровна.

— Ловко ли это будетъ?.. Мѣста намъ хватитъ, только какъ насчетъ коровы-то? гдѣ ты ее держать будешь?.. Сосѣдки не пустятъ: это дьяволы, а не люди.

— Ничего, какъ-нибудь.

— Нѣтъ, не какъ-нибудь, а это загвоздка: всѣ сосѣдки смотрятъ на меня, какъ на пугалу какую... Однако?

— Али ты боишься меня, Катерина Васильевна?—голосъ ея дрожалъ.

XVIII.

Часовъ черезъ пять послѣ этого разговора корова Катерины Васильевны отелилась; Пелагеѣ Прохоровнѣ не спалось; она думала о томъ, какимъ образомъ ей найти работу, и пришла только къ тому предположенію, что хорошо бы ей продавать хоть ягоды. У коровы не было сѣна. Мокроносова вызвалась купить его, и утромъ пошла на рынокъ, но дорогой, недалеко отъ дома Хорохоровыхъ, встрѣтила дѣвочку лѣтъ восьми; эта дѣвочка шла тоже въ середину города изъ самой крайней улицы и несла три маленькія наберушки съ земляникой.

— Почемъ ягоды?—спросила она дѣвочку.

Та сказала. Сравнительно съ заводскими, эти ягоды оказались слишкомъ дороги, но она рѣшилась купить ихъ. Дѣвочка уступила на цѣлыя десять копеекъ, и даже продала наберушки.

Пелагея Прохоровна повернула на главную улицу. И какъ ей стыдно было крикнуть въ первый разъ: «ягодъ не надо ли! Ягодъ купите!» Однако кричать

нужно... Крикнула разъ — покраснѣла, крикнула въ другой—голосъ дрянной... Но на улицѣ никто не покупаетъ ягодъ; стала она заходить во дворы—собаки кидаются на нее, но зато тутъ купили одну корзинку очень выгодно для Пелагеи Прохоровны, такъ что она цѣлыя десять копеекъ нажила отъ той наберушки. Кухарки она не замѣтила, и поэтому спокойнымъ голосомъ спросила купившую у нея ягоды, когда та стала отдавать ей деньги.

— Не надо ли вамъ, барыня, прачку?

— Да вотъ я не знаю... У меня стираетъ Авдотья, я ей велѣла придти вчера вечеромъ, а она и по сихъ поръ мнѣ глазъ не показывала... А ты, поди, вовсе не умѣешь стирать-то?

— Что вы, барыня, я давно этимъ ремесломъ занимаюсь.—И щеки Пелагеи Прохоровны покраснѣли.

— На кого же ты стираешь?

— Я-то?.. Да у меня много... одинъ бухгалтеръ, другой—въ правленіи служитъ.

— Что же, мало что ли стирки-то теперь?

— Да видишь ли: я корову купила; всѣ деньги истратила.

— Замужемъ, или нѣтъ?

— Какъ же, замужемъ, за Курносовымъ... плохое наше житье.

— Ну, ладно, я подумаю; приходи вечеромъ. Если не придетъ Авдотья, такъ ужъ дѣлать нечего.

Пелагея Прохоровна вышла съ сильнымъ біеніемъ сердца, голова ея отяжелѣла. «Что я такое наврала?» думала Пелагея Прохоровна, выйдя за ворота. Она сама не понимала: какимъ образомъ она могла соврать? Она вдова, и на поприще прачки вышла въ первый разъ. А ужъ если она соврала, то значитъ нужно теперь врать и врать, а это нехорошо. А если узнаютъ?

Однако дѣло сдѣлано; Мокроносову выручили ягоды. Она замѣтила домъ и пошла дальше, думая о томъ, какъ сказать, если спросятъ: «а какъ зовутъ того или другого, на которыхъ она стираетъ?» Надо такъ сдѣлать, чтобы имена не забывались. «Экая я дура! Вотъ теперь и хлопочи». Продала она и остальныя ягоды и нашла работы еще въ одномъ домѣ: вымыть полы сегодня же. Она занялась и боялась, чтобы ея не спросили: кто она такая? Однако избѣжать этого было невозможно, и здѣсь она уже не врала, а говорила правду. Когда, послѣ господскаго обѣда, которымъ ее впрочемъ не угостили, она стала собираться домой, то хозяйка пригласила ее стирать бѣлье на слѣдующій же недѣлѣ, и работы предвидѣлось на цѣлые три дня.

Пелагея Прохоровна была очень весела. Она, кажется, не была такъ весела даже и въ первый день свадьбы. Она радовалась тому, что нашла работу, будетъ получать деньги и будетъ жить самостоятельно, никому не подчиняясь, никого не боясь. Когда она пришла на рынокъ, — это въ первый разъ, какъ она живетъ въ городѣ,—она заходила во множество лавокъ, заглядывалась на дорогія, красивыя вещи, смотрѣла ситецъ, и до того надоѣла купцамъ и приказчикамъ, что ее почти изъ каждой лавки выгоняли насмѣшками. Теперь ей больше прежняго хотѣлось угодить Катеринѣ Васильевнѣ, и она купила ей платокъ на голову съ картинками, осьмушку чаю и полфунта сахару, и едва не забыла купить сѣна коровѣ. Катерина Васильевна не очень раздѣляла радость своей жилички, говоря, что это начало еще ничего не можетъ обѣщать хорошаго въ будущемъ, и, по ея мнѣнію, ни больше, ни меньше, какъ одно разореніе. Но Пелагея Прохоровна подумала, что Катерина Васильевна завидуетъ потому, что она не только не получала работы, но помощникъ аптекаря не отдалъ ей денегъ за то, что она будто бы потеряла одну хорошую манишку. Подарокъ она спрятала до болѣе удобнаго времени, потому что Катерина Васильевна весь этотъ день была сердитая. Когда же Пелагея Прохоровна сосчитала свои деньги, то ихъ оказалось только девять рублей съ копейками. Это очень встревожило ее, и она сказала Катеринѣ Васильевнѣ.

— Сколько я денегъ-то истратила! И куда? кажется, ничего такого не покупала.

— И остальныя проживешь.

— Нѣтъ, ужъ я теперь беречь буду.

— Сколько я тебѣ должна?

— Полно-ка, Катерина Васильевна. Неужели у меня нѣтъ креста на вороту... Я вовсе не къ тому говорю, чтобы...

Въ воскресенье Катерина Васильевна пошла въ острогъ, съ нею пошла и Пелагея Прохоровна. Тамъ въ конторѣ имъ объявили, что убійца Хорохоровъ номеръ еще въ понедѣльникъ и похороненъ, какъ собака, въ острожномъ мѣстѣ. Это извѣстіе такъ ошеломило бѣдную женщину, что она не могла устоять на ногахъ, сѣла на лавку, и долго дико глядѣла на одно мѣсто, такъ что ее вывели изъ острога солдаты. Пелагея Прохоровна, держа на рукахъ ребенка Катерины Васильевны, всячески старалась утѣшить ее, но не могла.

Съ полчаса онѣ шли молча. Катерина Васильевна высказывала немножко, какъ бы про себя: «какія, въ самомъ дѣлѣ, въ жизни бѣды бываютъ». Ну, развѣ думала она, встрѣтивъ въ первый разъ Николая Иваныча на похоронахъ у своей пріятельницы Евдокимовой, думала ли она, что такой красивый, молодой человѣкъ, къ которому товарищи и грубые мастеровые обращаются съ уваженіемъ, потому что онъ грамотный, черезъ годъ будетъ обвиненъ въ убійствѣ, умретъ и будетъ похороненъ, какъ собака?.. И вдругъ все какъ-будто исчезло. Для кого она теперь будетъ стараться? Съ кѣмъ и для кого будетъ работать: теперь пусто; сердце не бьется радостно, а обливается кровью... И зачѣмъ такое несчастіе приключилось именно съ нею, а не съ другимъ человѣкомъ, который бы имѣлъ порядочный домъ, порядочное хозяйство, родню, которая бы хотя помогла ей съ ребенкомъ возиться?

Пелагея Прохоровна брала дешевле другихъ за стирку и мытье половъ, и у нея работы было больше. Мало-по-малу она пріобрѣла уже нѣсколько домовъ и могла предоставить часть работы своей подругѣ, Катеринѣ Васильевнѣ.

Но и стирка бѣлья было дѣло не совсѣмъ легкое и

выгодное для нашихъ женщинъ. Неудобство состояло главнымъ образомъ въ томъ, что онѣ не имѣли возможности брать бѣлье на домъ, потому что иной день имъ обѣимъ не приводилось бывать дома и бѣлье могли украсть, да если бы и обѣ онѣ были дома, то и тутъ углядѣть невозможно безъ того, чтобы не караулить его постоянно которой-нибудь изъ нихъ. Поэтому онѣ и стирали у небогатыхъ семействъ въ ихъ квартирахъ. На третій мѣсяцъ, несмотря на то, что онѣ стали брать дороже, работы у обѣихъ женщинъ было такъ много, что онѣ сходились только по вечерамъ, а иногда даже и ночевали въ людяхъ. Только воскресные дни онѣ бывали дома. И несмотря на такой усиленный трудъ, средства обѣихъ женщинъ увеличивались очень мало, такъ что къ концу августа у Пелагеи Прохоровны было капиталу только семнадцать руб., а у Катерины Васильевны только двѣнадцать; правда, рубля по три еще было не получено каждою съ разныхъ господъ, но онѣ и не надѣялись получить долгъ, такъ какъ нѣкоторыя лица уже выѣхали изъ города.

Обѣ женщины жили дружно; обѣдать имъ приводилось вмѣстѣ только по воскреснымъ днямъ, и онѣ расходовали деньги сообща. Но все-таки, несмотря на дружбу, обѣ онѣ высказывали мысль, что хорошо бы было какъ-нибудь избрать другой родъ труда, напримѣръ завести еще корову. Но завести корову хотѣлось каждой, и обѣ не соглашались купить корову сообща. Отъ этого произошло то, что Катерина Васильевна стала поговаривать, что она хозяйка и ей никто не можетъ препятствовать дѣлать то, что̀ она хочетъ. Такъ мысль о коровѣ и кончилась опять ничѣмъ.

Между тѣмъ въ старой улицѣ, гдѣ жили наши работницы, на нихъ стали смотрѣть какъ на нѣчто особенное. Эта улица была населена мелкимъ чиновнымъ людомъ и мѣщанскимъ сословіемъ. Люди эти жили тѣмъ, что занимались какимъ-нибудь ремесломъ дома, или отдавали комнаты служащимъ въ присутственныхъ мѣстахъ лицамъ. Имъ не нравилось, что на ихъ улицѣ живутъ какія-то двѣ женщины, которыя бываютъ дома только по ночамъ и по воскресеньямъ. Особенно не нравилось ихъ женамъ, что при встрѣчѣ съ ними Мокроносова и Хорохорова не только не кланялись имъ, но даже и не глядѣли на нихъ. Онѣ знали, чѣмъ занимаются эти женщины, но никакъ не смѣли простить имъ этого неуваженія, а особенно того, что даже въ воскресенье и въ будничные хорошіе вечера, когда обитатели отъ мала до велика высыпали на улицу посплетничать и отвести душу разговорами, нашихъ работницъ не было видно на улицѣ. Все это ихъ злило, и онѣ всячески старались изловить ихъ въ чемъ-нибудь.

Разъ Пелагея Прохоровна шла домой вечеромъ. У многихъ домовъ сидѣли женщины. Посереди дороги мальчуганы играли въ городки. Пелагея Прохоровна глядѣла впередъ и слышала, какъ про нее говорили, но она не повернула головы.

— Поломойка!—окликнулъ ее женскій голосъ, но она и не поглядѣла въ ту сторону, откуда ее спрашивали, и прибавила шагу.

— Извѣстно, самая послѣдняя женщина. Тварь!— А какого она поведенія!—крикнули справа и слѣва.

Это разозлило Мокроносову, и она остановилась.

— Что, небось неправду говорятъ? Сколько у тебя любовниковъ-то!

— Отсохли бы у васъ у всѣхъ языки-то!—крикнула Пелагея Прохоровна, плюнула и пошла.

— Какъ!! что!! Василь Иванычъ!—слышалось изъ разныхъ мѣстъ.

Въ Пелагею Прохоровну кинули мячикъ, она забросила его за чей-то дворъ. Это разозлило еще больше праздный народъ, къ ней подбѣжали женщины и стали ее ругать. Никакихъ оправданій никто не принималъ.

— Въ полицію ее! Бейте ее! Она гульная!

Это оскорбленіе до слезъ проняло Мокроносову, однако ее не побили, потому что всѣ остались и тѣмъ довольны, что оскорбили беззащитную женщину. Но дерзости стали повторяться больше и больше, и наконецъ дошли даже до того, что въ одну ночь нѣсколько пьяныхъ писцовъ стали стучаться въ ворота хорохоровскаго дома и, не получивши никакого отвѣта, разбили стекло въ кухонномъ окнѣ. Улица отъ этой шалости пришла въ ярость: утромъ рано нѣсколько человѣкъ пришло въ кухню Катерины Васильевны и стали гнать ее изъ дому, а такъ какъ она доказывала свои права купчею крѣпостью, то три человѣка стали разламывать крышу съ дома, разломали трубу и стали выбрасывать ея вещи на улицу.

Такое самоуправство сосѣдей поставило нашихъ работницъ въ такое положеніе, что онѣ рѣшительно не знали, что̀ дѣлать?.. Но это недоразумѣніе кончилось тѣмъ, что пришелъ квартальный надзиратель и повелъ ихъ въ часть, какъ того требовали всѣ близкіе сосѣди Катерины Васильевны, велѣлъ прекратить разборку дома, снести обратно вещи, но, не доходя до части, освободилъ ихъ отъ ареста за пять рублей. У части Пелагея Прохоровна распростилась съ Катериной Васильевной.

Нанявши у одной мѣщанки комнату съ кухней за рубль серебромъ въ мѣсяцъ, Пелагея Прохоровна пустила на квартиру за полтинникъ женатаго писца, и попрежнему стала заниматься стиркой бѣлья. Черезъ мѣсяцъ послѣ этого она встрѣтила на рѣчкѣ Катерину Васильевну.

— Ну, какъ живешь, Катерина Васильевна?— спросила она свою подругу.

— По-твоему: домъ продала за двадцать рублей; наняла квартиру,—двѣ комнаты съ кухней и прихожей. Въ кухнѣ-то бѣлье стираю, а комнаты отдаю холостымъ приказнымъ.

— Холостымъ, говоришь?

— Такъ что такое? Я имъ и стряпаю. Дрова только дороги и квартира студеная... По пяти рублей съ нихъ получаю. Одна мебель пятнадцать рублей стоила. Сынишко со иной теперь.

— Отчего мы прежде съ тобой не подумали такъ жить?

— Я думала, да проку не видно... Не знаю, что дальше будетъ? А корову не купила?

— Сѣно нынѣ дорогое, съ коровой возни много.

Кончился мѣсяцъ, писецъ съ женой съѣхали.

Осталась Пелагея Прохоровна одна во всей квартирѣ. Квартиру никто не смотритъ. Однако платить за нее надо—заплатила, купила дровъ. Правда, она дома бывала рѣдко и поэтому могла сберечь деньги отъ пищи, которою ее угощали господа, но все-таки одной ночевать въ квартирѣ ей было скучно. Опять стали появляться въ головѣ мысли у ней, что не худо бы было имѣть свой домъ. Припомнились ей слова Короваева, его прощанье съ ней. «Гдѣ-то онъ теперь? Поди, женился!» И она старалась перебирать въ своей памяти всѣхъ мужчинъ, которые заигрывали съ ней. Но ни одинъ изъ нихъ не нравился ей такъ, какъ нравился Короваевъ. Она старалась не думать о немъ, ей хотѣлось забыть его, но и при работѣ, и лежа дома она раздумывалась о своей настоящей жизни, въ которой чего-то недоставало. «Нѣту у меня здѣсь родни, нѣтъ ни кола, ни двора, и работаю я только для того, чтобы мнѣ жить для самой себя... Поглядишь на бабенокъ, все же имъ есть съ кѣмъ отъ души поговорить. А я одна, и любовника я не хочу имѣть...»

Такъ думала часто Пелагея Прохоровна за работой и безъ работы. Наконецъ, зимой она впустила къ себѣ чиновника за рубль. Чиновникъ прожилъ у ней тихо недѣлю, и когда она уходила изъ дому, то бралъ ключъ съ собой. Потомъ чиновникъ изъявилъ согласіе, чтобы она готовила ему кушанье. Пелагея Прохоровна согласилась за пять рублей въ мѣсяцъ и стала стирать бѣлье на дому на холостыхъ чиновниковъ того присутственнаго мѣста, въ которомъ служилъ ея жилецъ. Въ первый мѣсяцъ, за всѣми расходами, она выручила два рубля и нашла, что жильца съ пищею держать выгодно, потому что, готовя на чиновника, и она будетъ сыта. Между тѣмъ ее безпокоилъ вопросъ, что-то подѣлываетъ ея дядя и гдѣ-то братья. Ей хотѣлось съѣздить въ заводъ, показаться въ немъ не прежней Мокроносовой, а теперешней городской Пелагеей Прохоровной, но у нея не было большихъ денегъ, а съ этой поѣздкой она потеряетъ прежнихъ господъ, на которыхъ стираетъ теперь, должна будетъ лишиться квартиры и съ тѣмъ вмѣстѣ самостоятельной жизни, хотя и тяжелой. И она ограничилась тѣмъ, что послала въ Терентьевскій заводъ письмо къ одной своей подругѣ, которая недавно пріѣзжала въ городъ хлопотать о домѣ, доставшемся ей по духовной отъ мужа, но отвѣта не получила.

Разъ, идя домой подъ вечеръ съ взятымъ отъ одной чиновницы грязнымъ бѣльемъ, она поравнялась съ обозомъ, передніе возы котораго уже заходили въ постоялый дворъ. Обозъ былъ большой и загородилъ дорогу. Пелагея Прохоровна стала огибать обозъ и около одного воза увидала лицо, которое ей было знакомо. Обозъ остановился, Пелагея Прохоровна подошла къ извозчику. Это былъ Панфилъ Прохорычъ. Пелагея Прохоровна ему очень обрадовалась.

— Да вѣдь ты на пріиски хотѣлъ идти?—спросила сестра брата.

— Мало что я хотѣлъ... Я было и пошелъ, да настращали: говорятъ, на какой пріискъ попадешь. Если пріискъ хорошій и платятъ—ладно, если нѣтъ—другъ дружку обкрадываютъ. А вотъ я теперь въ извозчики нанялся... И это не нравится, потому все въ дорогѣ ходимъ... Думаю на желѣзную дорогу идти робить, говорятъ, тамъ очень, очень хорошо, потому работы много.... Вотъ если бы я имѣлъ деньги, хорошо бы было. Говорятъ, тамъ много приказчиковъ и каждый помногу наживаетъ.

— И ты этому вѣришь?

— Ей-Богу! Если бы я накопилъ десять рублей, непремѣнно ушелъ бы туда. Вотъ и Короваевъ съ Гришкой ушли на той недѣлѣ туда.

— Что ты! И Короваевъ?

— Врать что ли я стану?—Возы въ это время двинулись.

— Да ты врешь!! Гдѣ ты Короваева-то видѣлъ?

— Въ городѣ, въ Прикамскѣ. Мы съ обозами на пристань ѣхали, а онъ съ Гришкой и съ Лизкой Ульяновой...

— Нѣтъ?!

— Ей-Богу... Лизка Ульянова съ матерью и ребятишками шла. И другіе тоже какіе-то съ ними... Куда?—спрашиваю.—На желѣзную дорогу, говорятъ, далеко. А Короваевъ и говоритъ: «а Пелагею Прохоровну видѣлъ?»

— Нѣтъ?

— Видѣлъ, говорю. Онъ и говоритъ: «замужемъ, поди она?», Нѣтъ, говорю, въ куфаркахъ живетъ»...

Въ это время возы были всѣ во дворѣ. Панфила крикнули, и онъ ушелъ въ домъ.

XIX.

Сообщенныя Панфиломъ новости очень поразили Пелагею Прохоровну. Она никогда не думала, чтобы Короваевъ ушелъ изъ М. завода, чтобы Лизавета Елизаровна, привыкшая къ промысловой жизни, и мать ея могли пуститься въ незнакомыя имъ мѣстности съ посторонними мужчинами. Ей не вѣрилось, чтобы это было такъ, чтобы они ушли. А если они ушли, то тутъ есть какая-нибудь причина. Но какая? Правда, она видѣла людей, натягивающихъ телеграфную проволоку, слыхала, что гдѣ-то строятъ желѣзную дорогу, а въ одно время только и было разговоровъ, что о постройкѣ отъ города желѣзной дороги, вслѣдствіе чего на рынкѣ по воскресеньямъ не одна сотня бродила мастеровыхъ, думая, что ихъ будутъ уже нанимать на желѣзную дорогу; но того, чтобы кто-нибудь изъ знакомыхъ уходилъ далеко для работы на желѣзной дорогѣ, чтобы кто-нибудь хвастался хорошимъ заработкомъ, она не слыхала. Да и что такое желѣзная дорога?.. Все это маклаки смущаютъ рабочихъ. Но теперь Панфилъ совсѣмъ ее сбилъ съ толку.

«Этотъ парнишка, какъ посидѣлъ въ острогѣ, совсѣмъ испортился», думала она, стараясь не вѣрить ему. «А если они на самомъ дѣлѣ ушли?» спрашивала она себя, и ей дѣлалось обидно. «Я вмѣстѣ съ нимъ шла... Я помогала Лизкѣ... и вдругъ ушли одни. Охъ, злые люди! Они только о себѣ заботятся... Тутъ непремѣнно штуки какія-нибудь... Вѣрно, Лизка сманила мать въ заводъ, потому-де Григорій очувствуется и женится на ней, али въ любовницы къ себѣ возьметъ ее!»

Немного погодя, она думала иначе.

«Нѣтъ, Григорій Прохорычъ не такой... Какъ помоложе-то онъ былъ, ну, тогда, пожалуй бы, Лизка ему сѣла на шею и поѣхала бы. Ужъ коли онъ на приказчицкой любовницѣ хотѣлъ жениться! Ну, а какъ посидѣлъ изъ-за этой голубушки въ острогѣ, опытнѣе сталъ... На Лизкѣ ужъ онъ не женится... Эдакая, подумаешь ты, бестыжая! человѣкъ ее ненавидитъ, а она за нимъ... А Короваевъ-то? Короваевъ-то?»

Но про Короваева она не знала, что и подумать, потому что этотъ хитрый, по ея мнѣнію, человѣкъ ничѣмъ не связанъ съ ней. Ей хорошо помнятся его слова: «у меня ничего нѣтъ, кромѣ долота и пилы. Я иду—говорилъ онъ—добывать себѣ капиталы. Если, говорилъ, ты не выйдешь замужъ, я, говорилъ, буду свататься за тебя».

«Вотъ онъ, женишокъ-то любезный!.. Онъ поди теперь посмѣивается: жди, молъ...»—говорила чуть не громко Пелагея Прохоровна.

На другой день она нарочно сходила на постоялый дворъ, но не въ тотъ, въ которомъ остановился ея братъ, а въ другой. Тутъ она узнала отъ ямщиковъ, что дѣйствительно изъ М. завода многіе идутъ на желѣзную дорогу, потому что въ М. теперь работы стало меньше противъ прежняго.

— Какъ начали фабрики-то строить, народу навалило въ М. изо всѣхъ заводовъ и деревень! Работа была всѣмъ, платили хорошо; а теперь работы стало меньше, и то парни больше самыя трудныя работы справляютъ—около огня, али около машинъ, пожилые не выносятъ, хворяютъ, ну, и плата, значитъ, стала небольшая. Вотъ кто скопилъ немного деньжонокъ, заплатилъ за годъ оброки—и пошелъ на желѣзную дорогу. Тамъ, говорятъ, и по полтора цалковыхъ за сутки платятъ. Это выходитъ въ мѣсяцъ сорокъ пять цалковыхъ...—говорилъ Пелагеѣ Прохоровнѣ одинъ ямщикъ.

— Но вотъ ты нейдешь же туда.

— Эхъ, дѣваха! Ты думаешь, хорошее наше житье-то? Кабы не привычка отъ измалѣтства къ этому дѣлу, удержалъ бы кто меня на одномъ мѣстѣ? Ни! И такъ все грозятъ, что и у насъ такую дорогу построятъ. Ну, и срываешь: чуть излишекъ какой будетъ, надо бы къ дому, али откупить землю, возьмешь и купишь еще лошадь... А ты не туда ли хошь?

— Нѣтъ.

— То-то. Вы въ городахъ-то какъ поживете, такъ васъ и рукой не достанешь. Хоть ѣсть нечего, а въ городѣ лучше нравится жить.

— Какое житье!

— То-то. Поди, предметъ есть?

Теперь ужъ Пелагея Прохоровна не сомнѣвалась въ томъ, что Короваевъ ушелъ на желѣзную дорогу. Ей припомнилось обѣщаніе Короваева написать ей въ село черезъ мѣсяцъ. «Значитъ, и тамъ нехорошо. Поэтому онъ и не извѣщалъ меня, и не хотѣлъ, чтобы я шла туда».

Она не обвиняла Короваева; напротивъ, онъ былъ правъ. И въ самомъ дѣлѣ, что за жизнь, когда и одному-то ѣсть нечего, а тутъ еще будутъ дѣти... Прежде вонъ въ заводахъ на дѣтей провіантъ давали, а теперь не только не даютъ провіанту, а отымаютъ и покосы, и дома; теперь за все плати деньги, а платы за трудъ едва достаетъ, чтобы покупать муку, которая съ каждымъ мѣсяцемъ вездѣ дорожаетъ. На рынкѣ только и разговору, что богатые люди скупили муку, что въ такомъ то мѣстѣ неурожай, а отъ этого и мясо, и прочее стало дорого. Поневолѣ будешь искать мѣста, гдѣ лучше. Вотъ она теперь квартиру свою имѣетъ, а едва сводитъ приходъ съ расходомъ. Хорошо еще, что у нея чиновникъ живетъ нетребовательный; самъ сапоги себѣ чиститъ, самъ въ лавочку за табакомъ и калачами ходитъ, и ничего не говоритъ, если она подаетъ ему вчерашнія подогрѣтыя щи. Въ скоромные дни и она сыта отъ этого чиновника, потому что онъ за хлѣбы платитъ въ мѣсяцъ пять рублей, а вотъ въ постъ—не знаешь, что и варить: чиновникъ проситъ уху изъ окуней или ершей, жаркое тоже изъ рыбы, а рыба дорога, фунта едва на обѣдъ достанетъ. Не станешь же кормить его горошницей, али картофельной похлебкой... Хотя же она и получаетъ деньги за стирку бѣлья и мытье половъ, такъ мало ли и расходовъ по хозяйству? то дровъ надо купить, то мыла, то синьки, то крахмалу, свѣчъ: горшокъ какой-нибудь разобьется, надо новый завести и т. д. И вся жизнь только въ томъ и заключается, что съ четырехъ часовъ утра до девяти вечера работаетъ, такъ что въ иной день и сидѣть-то рѣдко приводится, и хотя бы спокой былъ, а то все думаешь о томъ, какъ бы тебя похвалили, а не обругали, какъ бы все было цѣло. Вѣдь это рѣдкость, чтобы барыня при отдачѣ денегъ не обругала. Отъ сосѣдей тоже непріятности; не многіе вѣрятъ, что она не имѣетъ любовника, и распускаютъ разные толки. Всѣ эти толки съ разными прикрасами передавала ей хозяйка дома, къ которой каждый вечеръ приходилъ отставной вахтеръ, значительное лицо въ пріемной одного высшаго въ этомъ городѣ присутственнаго мѣста. Такъ уже сложилась городская жизнь, что о бѣдной рабочей женщинѣ не вѣрили, чтобы она могла жить самостоятельно и не обращая вниманія на любезности жильца. И вотъ, Пелагеѣ Прохоровнѣ городъ сталъ казаться противнымъ со всѣми его обывателями.

Но куда идти? Вотъ вопросъ, который заставлялъ ее крѣпко призадумываться, потому что всѣ, у которыхъ она спрашивала о томъ, гдѣ строится желѣзная дорога, не знали объ этомъ, а говорили, что гдѣ-то далеко. Даже ея жилецъ, изрѣдка читающій газеты, говорилъ, что по желѣзнымъ дорогамъ у насъ уже ѣздятъ и строятся другія, только онъ не обратилъ вниманія на мѣстность, потому что дороги строятся не въ нашей губерніи. «Стройся дорога въ нашей губерніи, меня никто не удержалъ бы въ правленіи, потому я человѣкъ трезвый, имѣю три чина и мнѣ дали бы хорошую должность. А далеко ѣхать не стоитъ, потому что и въ тѣхъ губерніяхъ много такихъ чиновниковъ, какъ я».—«Кабы близко!..» думала Пелагея Про-

хоровна... Чѣмъ больше она думала, тѣмъ больше ей противна казалась теперешняя работа, тѣмъ сильнѣе хотѣлось уйти изъ этого города. Только куда уйти? Кромѣ этого ее затрудняло то: лучше ли тамъ? Вѣдь Короваевъ не бывалъ тамъ, а если онъ шелъ въ М. заводъ, то потому, что ему этотъ заводъ хвалили!.. «Что будетъ, то и будь, а здѣсь я не останусь. Если здѣсь не знаютъ дороги на желѣзную дорогу, пойду въ Прикамскъ. Вѣдь ходятъ же бабы на богомолье и въ Кіевъ, и въ Іерусалимъ, а сперва тоже не знаютъ дороги. А чѣмъ я-то хуже ихъ? Онѣ ходятъ потому, что имъ ходить нравится и ханжи потакаютъ имъ, а я пойду на работу. Что мнѣ, въ самомъ-то дѣлѣ, на одномъ мѣстѣ жить? Будто я чѣмъ связана здѣсь...» И она объявила жильцу, что идетъ на желѣзную дорогу работать. Это очень удивило жильца, и онъ сказалъ:

— Полно-ка, Пелагея Прохоровна, умомъ-то мутить. Пословица говорится: на одномъ мѣстѣ камень обростаетъ. Ну, куда ты пойдешь и зачѣмъ? Чего еще тебѣ здѣсь мало?

— То-то вы мужчины и не понимаете, что нашему брату трудно деньги достаются.

— Ну, матушка... Что жъ дѣлать: черезъ силу и конь не скачетъ.

Жилецъ сталъ отговаривать ее. Катерина Васильевна пугала ее, говоря: какъ она пойдетъ одна такую даль. Но она твердо рѣшилась идти, и ее останавливало только безденежье. На лицо у нея было денегъ около рубля; посуда, корыто и т. п. принадлежности для бѣлья стоили ей три рубля; два платья стоили на худой конецъ рублей десять, ну, и другія вещи можно распродать, какъ-то: платокъ шерстяной, купленный ею къ пасхѣ, теплый шугайчикъ,—можетъ и дадутъ рубля три. Кромѣ этого ей должны были двѣ барыни за стирку и за мытье половъ и четыре прачки, которымъ она давала по мелочамъ дня на два, на три, и онѣ не отдавали денегъ уже цѣлые мѣсяцы. Пошла она къ барынямъ, тѣ просили подождать до полученія пенсіи; прачки, узнавъ, что она хочетъ идти въ Прикамскъ, не сказали, когда онѣ могутъ отдать долгъ. Прошелъ мѣсяцъ. Въ продолженіе его Пелагея Прохоровна работала изо всей силы, но за работу получила денегъ даже меньше прежняго; изъ словъ тѣхъ, на которыхъ она работала, въ родѣ такихъ: «скоро ты богаче насъ будешь», она поняла, что ей не хотятъ платить потому, что надѣются отдѣлаться отъ нея ничѣмъ, такъ какъ она хочетъ идти. За вещи давали тоже почти десятую часть, зная, что она очень нуждается въ деньгахъ.

Это еще болѣе раздосадовало Пелагею Прохоровну. Въ свободное воскресенье она сама стала продавать на толкучкѣ платья, платокъ и шугайчикъ и только къ вечеру продала ихъ за пять рублей. Въ понедѣльникъ она получила нѣкоторые долги и у ней составилось капиталу семь рублей.

Распростившись съ чиновникомъ, съ хозяйкой и сосѣдками, она пошла на постоялый дворъ. Тамъ она узнала, что на желѣзную дорогу идти гораздо короче и гораздо дешевле не черезъ Прикамскъ, а на городъ Поярковъ, откуда она за рубль можетъ уплыть на пароходѣ до Нижняго. Такъ и сдѣлала Пелагея Прохоровна, отправившись за полтинникъ до Пояркова съ обозами.

Въ Поярковѣ она увидала людей, выговаривающихъ уже иначе, людей развитыхъ настолько, насколько жизнь на большой рѣкѣ и постоянныя столкновенія съ людьми изъ разныхъ мѣстъ могутъ развить ихъ умственную дѣятельность, людей здоровыхъ, сильныхъ, красивыхъ, людей, преимущественно прокармливающихъ свои семейства работою на пристаняхъ,—словомъ, людей смышленѣе Пелагеи Прохоровны.

Дѣло въ томъ, что городъ находился на такомъ мѣстѣ при рѣкѣ, гдѣ было удобно какъ по глубинѣ рѣки, такъ и отлогому берегу приставать пароходамъ, судамъ, баркамъ, плотамъ, грузить въ нихъ и выгружать изъ нихъ товары на берегъ, на которомъ постоянно на нѣсколько сотъ саженъ были покладены товары, покрытые цыновками, а дрова тянулись и не на одну версту. Здѣсь постоянно, даже и по ночамъ, когда приставали къ городу для нагрузки дровъ пассажирскіе пароходы, работы было много и для мужчинъ, и для женщинъ, но такъ какъ городъ былъ небольшой и татарскій, и татары занимались больше садоводствомъ, земледѣліемъ и скотоводствомъ, то рабочихъ рукъ все-таки было немного, такъ что не рѣдкость было увидать на пристани работающихъ стариковъ и мальчиковъ отъ четырнадцатилѣтняго возраста. Пелагеѣ Прохоровнѣ нравилось оживленіе на пристани, оживленіе въ ближайшихъ къ рѣкѣ улицахъ. Здѣсь она не видала той вражды, происходящей на промыслахъ между мужчинами и женщинами; напротивъ, здѣсь мужчины и женщины, работая вмѣстѣ, свободно обращались другъ съ другомъ и хвастались одни передъ другими, кто больше получилъ денегъ. Но и здѣсь она не замѣтила особеннаго довольства. Недостатки были у всѣхъ, и она относила это къ тому, что здѣсь вездѣ пили чай, вездѣ обѣдъ состоялъ изъ щей и каши, у рѣдкихъ не имѣлось скота, а главное, всѣ жаловались на большіе оброки и другія взысканія. Съ перваго же дня по прибытіи въ городъ она стала работать на пристани, а такъ какъ она была здѣсь лицо новое, то ее стали разспрашивать, и всѣ хвалили ее за то, что она пошла сюда. Ей приводилось носить товары или дрова на носилкахъ вдвоемъ, и она носила съ женщинами, изъ которыхъ одна и приняла ее на квартиру. У этой женщины она не замѣтила нищеты: все у ней было хорошо, дѣти ея не ходили оборванныя, она пила чай; съ мужемъ, работающимъ тоже на пристани, она не ссорилась. Отъ нихъ она узнала, гдѣ строится желѣзная дорога, только они не совѣтовали ей идти туда, потому что тамъ рабочихъ очень много, и женщинамъ приходится только копать и возить землю, за что платятъ мало. Лучше будетъ для нея, если она пойдетъ въ Москву.

«Въ самомъ дѣлѣ, что мнѣ дѣлать на желѣзной

дорогѣ?» думала Пелагея Прохоровна. Здѣшняя жизнь ей казалась лучше заводской, и она думала, что чѣмъ дальше она пойдетъ, тѣмъ больше она увидитъ новаго, хорошаго и останется тамъ, гдѣ ей лучше понравится, ее тянуло дальше, и она спросила:

— А далеко Москва?

Ей сказали.

Выручивши на пристани три рубля, Пелагея Прохоровна отправилась на баркѣ до Костромы. О путешествіи Пелагеи Прохоровны говорить нечего. Чѣмъ дальше она плыла, чѣмъ ближе подвигалась къ Москвѣ, тѣмъ больше она видѣла хорошаго: города были красивые, люди говорили свысока, не глядѣли такъ робко, какъ въ Заводскѣ, гдѣ она жила въ кухаркахъ; рѣже она стала встрѣчать лапотниковъ, да и по берегамъ рѣки попадались хорошія пашни. Здѣсь никто не бранилъ ее за то, что она пошла искать мѣсто, гдѣ лучше; напротивъ, ее хвалили за это, хотя и говорили, что Богъ знаетъ, гдѣ лучше... Многіе вонъ все больше въ Петербургъ идутъ, и какъ зайдетъ человѣкъ туда, такъ и живетъ тамъ, говорили ей въ заключеніе.

Въ Ярославлѣ она увидала нѣсколькихъ мужиковъ и одѣтыхъ по-деревенски женщинъ. Любопытно ей стало, потому что у каждаго человѣка былъ узелокъ, сундучекъ или сума, и она спросила одну изъ женщинъ, куда они ѣдутъ.

— Въ Питеръ, матушка. А ты?

— На желѣзную дорогу.

— Ой, голубушка... Оттоль идемъ.

— Худо тамъ?

— Съ голоду помрешь... Такой жизни никому не пожелаешь.

— А я въ Москву тоже думаю.

— Въ Москву наводить тоску!—сказалъ одинъ мужчина, захохотавъ.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать, куда идти. Въ Нижнемъ она пробыла четыре дня, но здѣсь она большею частью сидѣла на баркѣ, потому что отъ нея на берегъ нужно было плыть въ лодкѣ. Въ Нижнемъ въ это время была ярмарка. Волга была почти на половину запружена судами и пароходами, по подгорью кишѣлъ народъ; отовсюду, и съ берега, и съ рѣки, слышался говоръ, возгласы, шумъ, трескъ и свистки пароходовъ. Ее, робкую женщину, все это поражало; на все она смотрѣла съ удивленіемъ, обо всемъ разспрашивала... Впрочемъ она разъ сходила съ судорабочими на ярмарку, но, воротясь оттуда, ничего не могла сообразить. Она видѣла только огромную толкучку всякихъ людей, смѣсь всевозможныхъ товаровъ, она была оглушена неописуемымъ говоромъ и трескомъ; она ходила тамъ, какъ угорѣлая, и когда вернулась на судно, у нея долго болѣла голова... «Господи, думала она, сколько тутъ народу! И откуда только народъ этотъ взялся?.. Хорошо-то какъ здѣсь!» Но тутъ она не осталась. «Гдѣ ужъ мнѣ тутъ жить! Вонъ купила я булку—десять коп. заплатила; за вишенье дала двадцать коп... Въ платкѣ у меня была завязана рублевая бумажка, платокъ я положила въ карманъ — вытащили... Здѣсь только на берегъ выйти — непремѣнно чего-нибудь купишь... Нѣтъ, Богъ съ нимъ, и съ большимъ городомъ». За Нижнимъ она видѣла много народу только на пристаняхъ большихъ городовъ, гдѣ рабочихъ было все меньше и меньше на берегахъ; больше и больше ей приводилось видѣть бурлаковъ, тянущихъ кверху суда, вездѣ только и было разговору, что о большихъ оброкахъ, о плохихъ урожаяхъ, строгихъ господахъ, недодачахъ жалованья и платы за трудъ, обманахъ приказчиковъ, живущихъ на счетъ рабочихъ людей... Чѣмъ дальше она плыла, тѣмъ больше она видѣла фабрикъ, съ дымящимися высокими трубами, винокуренныхъ заводовъ, и тѣмъ больше слышала жалобъ на худое житье и видѣла людей, куда-то идущихъ съ котомками на плечахъ... И кого она ни спроситъ: куда идетъ этотъ народъ? Ей отвѣчали: туда, гдѣ лучше! На заработки. Но гдѣ такое мѣсто,—ей не могли отвѣтить, а только говорили, что они идутъ въ Петербургъ.

Но отчего же ей совѣтовали въ Поярковѣ идти въ Москву, а здѣсь народъ съ пренебреженіемъ отзывается объ Москвѣ, идетъ въ Петербургъ?

— А что, разѣ не хорошо въ Москвѣ?—спросила она одного мужчину, хваставшагося на постояломъ дворѣ тѣмъ, что супротивъ такого города, какъ Петербургъ, нигдѣ нѣтъ такихъ городовъ, и ему Питеръ извѣстенъ и вдоль, и впоперекъ.

— Москва-то? Что Москва? дрянь, окромя святыхъ угодниковъ... Супротивъ Питера далеко не доросла...—старался объяснить мужчина.

— Да вѣдь она столица?

— Объ этомъ кто споритъ!.. Москва большая деревня—вотъ что! — сказалъ мужчина, довольный тѣмъ, что онъ объяснилъ-таки, почему Москва хуже Петербурга.

— Вовсе не то ты толкуешь: въ Питерѣ завсегда работу достанешь, а въ Москвѣ не то, — сказалъ другой мужчина.

— Ну, нѣтъ: Москва приторна... Тамъ живешь, какъ будто не на своемъ мѣстѣ, въ Питеръ хочется, а какъ поживешь въ Питерѣ, не заманишь тебя въ Москву и калачомъ московскимъ, такъ разѣ, когда домой пойдешь, зайдешь къ святымъ угодникамъ помолиться.

— Хорошо ли тамъ-то? — приставала Пелагея Прохоровна.

— Бабамъ тамъ хорошо, — говорили мужчины.

Женщинъ, живавшихъ въ Петербургѣ, здѣсь не видно было. Туда шли женщины на заработки въ первый разъ съ мужьями, шли дѣвицы, говоря, что у нихъ тамъ, въ Петербургѣ, живутъ родные. И Пелагея Прохоровна рѣшилась плыть до Твери, откуда, какъ ей говорили, до Петербурга желѣзная дорога.

Въ Твери она въ первый разъ увидала и желѣзную дорогу, и поѣзды, третьеклассные вагоны, которые были наполнены большею частью простымъ народомъ. Здѣсь она увидала и пріѣзжающихъ изъ Петербурга. Стала она разспрашивать женщинъ о житьѣ въ Петербургѣ, но однѣ изъ нихъ хвалили петербургскую жизнь, другія нѣтъ. Она

замѣтила, что даже и тѣ, которыя ругали Петербургъ, все-таки ѣхали домой не надолго. «Должно быть тамъ хорошо»,—думала она. «Ужъ много я шла, сама не зная куда, а теперь вонъ сколько народу-то ѣдетъ и кого ни спросишь: ты куда? онъ говоритъ: куда! знамо въ Питеръ!». И Пелагея Прохоровна, взявши билетъ, сѣла въ вагонъ третьяго класса.

Скоро поѣздъ пошелъ, и еще скорѣе она познакомилась съ своими сосѣдями.

XX.

Вся зима прошла на пріискахъ въ постройкахъ на новомъ пріискѣ, который былъ названъ Ново-Удойкинскимъ. Золото въ это время не промывалось, потому что приходилось много времени употреблять на копаніе канавъ, которыя проводили къ новымъ постройкамъ, устроеннымъ по совѣту Костромина и другихъ рабочихъ. Денегъ у главнаго довѣреннаго было немного, рабочимъ онъ выдавалъ по малости, такъ что имъ едва доставало въ теченіе недѣли на хлѣбъ. Рабочіе ругались, но сознавали, что, пожалуй, довѣренному не изъ-за чего платить много денегъ, не получивши золота, да и Богъ знаетъ, будетъ ли еще много золота на новомъ мѣстѣ. Поэтому старые рабочіе уходили на другіе пріиски, новыхъ прибывало мало, а изъ оставшихся большинство хворало и имъ не оказывалось никакой медицинской помощи. Весной вода залила почти все пространство какъ на старомъ, такъ и на новомъ пріискахъ, и съ ней было много хлопотъ, но все-таки золота промывалось гораздо больше, чѣмъ на старомъ пріискѣ, а потому на новомъ пріискѣ было до шестидесяти мужчинъ и до двадцати женщинъ. Но у довѣреннаго все-таки не было денегъ, и онъ давалъ Костромину росписку за роспиской въ должныхъ ему деньгахъ, потому что Костроминъ снабжалъ всѣхъ рабочихъ хлѣбомъ, капустой, солью и другими овощами. Хотя же полпуда золота и было отправлено въ горное правленіе, но оттуда денегъ не выдали.

А тутъ разнеслась по пріиску вѣсть, что старецъ Яковъ померъ; дѣти увезли его въ село, разломали избу и сами скрылись неизвѣстно куда. Костроминъ съѣздилъ туда удостовѣриться и вернулся больной; черезъ три дня и онъ померъ. Запечалились на пріискахъ всѣ рабочіе, потому что Костромина они любили, онъ многихъ выручалъ изъ бѣды, давалъ за крупинки золота денегъ, такъ что нѣкоторымъ рабочимъ незачѣмъ было уходить въ другія мѣста для продажи его. Кромѣ этого рабочимъ не нравился другой Костроминъ, Степанъ и его жена Анисья, которые постоянно присчитывали на рабочихъ деньги; всѣ думали, что теперь хоть живой ложись въ землю. Особенно всѣ почувствовали, какъ нехорошо жить безъ хорошаго человѣка на пріискахъ тогда, когда Костромины увезли хоронить старика въ село, заперевъ домъ. Два дня еще прошло—ладно, на третій ни у кого не было хлѣба, даже изъ дома довѣреннаго по нѣскольку разъ посылали къ дому Костромина узнать, пріѣхали ли торгаши; нѣкоторые рабочіе такъ даже и сидѣли у дома Костромина, думая, что если пріѣдутъ Степанъ или жена его, то они напередъ отпустятъ довѣренному; но Костромины не являлись. Терпѣніе рабочихъ и довѣреннаго истощилось, почему первые выломали двери въ домѣ Костромина, но въ домѣ не нашли ни куска хлѣба, а забрали всю водку, пиво и брагу; довѣренный послалъ въ село Горюнова за покупкой муки и другой провизіи, о чемъ его просилъ самъ Горюновъ, думая двадцать пять руб., полученные имъ отъ Костромина, употребить въ дѣло.

Горюновъ, пріѣхавъ въ село, первымъ дѣломъ купилъ за десять рублей лошадь и за три крестьянскую телѣгу, потомъ уже закупилъ муки, крупы, соли и мяса. Едва онъ въѣхалъ на пріиски, какъ его окружили рабочіе, требуя муки. Никакія увѣщанія Горюнова не принимались, и онъ долженъ былъ дать имъ цѣлый мѣшокъ муки, доказывая, что мука принадлежитъ ему.

По окончаніи дневныхъ работъ, когда одни изъ рабочихъ сидѣли на горѣ и пѣснями старались немного развлечь себя, а другіе сидѣли подъ горой, разсуждая о пріисковой жизни въ Сибири и на Уралѣ, о жизни каторжныхъ и о прежнихъ хорошихъ временахъ, когда торговать золотомъ было не въ примѣръ лучше теперешняго, Горюновъ подошелъ къ нимъ и, поговоривъ немного о бывшемъ его заводскомъ начальствѣ, началъ:

— А что-то Степанко Костроминъ не ѣдетъ?

— А что?

— Должно быть, нашелъ добрую землю. Ужъ не продаетъ ли онъ какое-нибудь мѣсто?

Рабочіе загалдѣли. Увидавши волненіе внизу, рабочіе, сидѣвшіе на горѣ, спустились внизъ и подошли къ этимъ.

— Да ты это откуда узналъ? — спрашивали пришедшіе Горюнова.

— Я только предполагаю, потому, сами разсудите, сколько они съ насъ брали за все.

— Брали дѣйствительно дорого.

— А можно бы и безъ нихъ обойтись,—сказалъ Горюновъ.

— Какъ такъ?

— Очень просто. Вотъ обошлись же и безъ нихъ, не померли. А муку я покупалъ на половину дешевле, чѣмъ они намъ продавали.

— Ты къ чему это, Тереха, рѣчь-то ведешь?—спросилъ вдругъ Анучкинъ, не принимавшій доселѣ участія въ разговорахъ.

— Къ тому, что и самимъ можно покупать муку. Стоитъ только человѣка надежнаго выбрать.

— Не думаешь ли ты, что ты одинъ надежный человѣкъ?—говорилъ Анучкинъ.

— Я только къ слову сказалъ... я говорю—выбрать...

— То-то... Не хочешь ли ты, кривая собака, костроминское мѣсто занять?

— Можетъ быть, тебѣ угодно, потому ты и спрашиваешь?

— А позволь-ко тебя спросить: откуда ты деньги взялъ? На какія ты деньги муку купилъ?

— Про то я знаю... Можетъ, у тебя есть деньги, да ты небось не купилъ муки... Братцы! — обратился Горюновъ къ рабочимъ, съ недоумѣніемъ смотрящимъ то на Анучкина, то на Горюнова:— хорошо ли я сдѣлалъ, что муку привезъ?

— Кто объ этомъ споритъ?

— Ну, а вотъ ему хочется, чтобы мы съ голоду мерли.

Одни изъ рабочихъ захохотали, другіе стали ругать Анучкина, Анучкинъ пошелъ. Горюновъ пошелъ за нимъ.

— Послушай, Тарасъ Трифонычъ, изъ-за чего ты на меня зубы-то грызешь? — спросилъ Горюновъ Анучкина: — насчетъ этого у насъ уговору не было... Вѣдь ты не захотѣлъ же почему-то купить муки, а теперь, какъ другой купилъ, ты и завидуешь... Послушай, Тарасъ Трифонычъ. Я давно насчетъ этого думалъ, и думалъ именно заняться торговлей съ тобой. А что я не объявилъ объ этомъ раньше тебѣ, такъ не зналъ, какъ это понравится рабочимъ. Хочешь вмѣстѣ торговать?

Анучкинъ не соглашался, но къ утру, когда на пріискахъ всѣ спали, уѣхалъ на Горюновской лошади.

— Воръ! Посмотримъ, какъ онъ намъ шары свои покажетъ, — говорили утромъ рабочіе про Анучкина, узнавши объ его продѣлкѣ.

— Богъ съ тобой, Горюновъ! Не я ли тебя взялъ съ собой на пріиски, а ты другому предоставляешь барыши,—говорилъ Ульяновъ.

— Елизаръ Матвѣичъ! Я ли не другъ тебѣ...

— Такъ друзья не дѣлаютъ: ты отъ меня все особо, все особо...

— А кто виноватъ? Не ты ли больше всѣхъ ходишь въ лѣсъ стрѣлять птицъ... Кто велѣлъ тебѣ зимой отсюда уходить? Самъ ты не хочешь со мной якшаться. Насильно милому не быть.

Скоро послѣ этого пріѣхалъ Анучкинъ. Анучкина обругали, но онъ сказалъ: меня просилъ Горюновъ съѣздить, я и съѣздилъ.

— Такъ, Тарасъ Трифонычъ, нельзя,—началъ Горюновъ.

— Почему? По-моему удобнѣе попеременно ѣздить, чтобы другъ другу не завидно было.

Такъ и стали Горюновъ съ Анучкинымъ торговать, переселившись въ домъ Костромина съ Офимьей и Глумовымъ, изъ которыхъ Офимья готовила кушанье даже на довѣреннаго и пекла хлѣбы на рабочихъ, а послѣдніе, въ отсутствіе Горюнова и Анучкина, продавали рабочимъ табакъ, водку и калачи. Теперь вечера рабочіе стали проводить въ домѣ Костромина.

Явился приказчикъ въ сопровожденіи солдатъ — значило, что онъ везъ деньги—и Костромины.

Костроминыхъ не пускали въ ихъ домъ, они условіями и расписками доказывали право на владѣніе домомъ, и хотя потомъ пустили ихъ, но никто не сталъ у нихъ покупать ничего. Довѣренный разсчиталъ рабочихъ, рабочіе не стали платить долговъ Костромину и дали Горюнову денегъ на закупку съѣстныхъ припасовъ и водки. Горюновъ побоялся ѣхать въ село, передалъ деньги Анучкину; Анучкинъ командировалъ Ульянова, не сказавъ объ этомъ Горюнову. Ночью Костромины уѣхали со всѣмъ имуществомъ съ пріиска и зажгли свой домъ. Анучкинъ поѣхалъ за ними слѣдомъ и къ утру наѣхалъ на мертвое тѣло; Ульяновъ лежалъ поперекъ дороги съ простреленной головой. Денегъ при немъ не оказалось.

Объ этомъ происшествіи объявлять не стали, а изъ среды раскольниковъ рабочихъ нашелся одинъ попъ, который и отпѣлъ Ульянова по-своему. Всѣ здоровые рабочіе сопровождали до могилы Ульянова, изрѣдка перекидываясь словами, но никто такъ не былъ печаленъ, какъ Горюновъ, который всю вину въ смерти Ульянова сваливалъ на себя и на Анучкина.

И такъ теперь Горюновъ и Анучкинъ сдѣлались маркитантами. Дѣла ихъ шли хорошо тогда, когда были на пріискахъ деньги, и худо тогда, когда на пріискахъ не было денегъ. Но зато теперь на пріискахъ уже было меньше больныхъ, потому что оба торгаша брали съ рабочихъ небольшіе проценты на свой затраченный капиталъ, на пріискахъ больше и больше стало расходиться водки, больше появилось гармоній и балалаекъ, но было уже меньше такихъ оргій, которыя происходили при Костроминѣ, потому что большинство здоровыхъ рабочихъ все свободное время проводило въ лавочкѣ.

Прошла зима, въ теченіе которой золота добывалось мало, и начальство часто уѣзжало недѣли на три изъ пріисковъ. Весной довѣренный запилъ.

Разъ, во время отсутствія Анучкина, прибѣгаетъ Николай Глумовъ и говоритъ Терентію Иванычу, что онъ, перейдя гору Троскурицу, въ пяти верстахъ вверхъ по рѣкѣ отъ построекъ Ново-Удойкинскаго пріиска, нашелъ самородку. Самородка вѣсила четверть фунта. Горюновъ тотчасъ же предложилъ за нее мальчику десять рублей. Тотъ отдалъ и даже вызвался показать ему мѣсто, которое имъ замѣчено, тѣмъ, что онъ воткнулъ въ гору палку.

Съ горы, съ того мѣста, въ которомъ Николай Глумовъ воткнулъ палку, представлялся великолѣпный видъ: на нѣсколько верстъ подъ горой волнами росъ лѣсъ; кое-гдѣ казалось, какъ будто сдѣлана просѣка, но между тѣмъ оттуда выходила зигзагами рѣченка, начало и конецъ которой терялись въ лѣсахъ; кое-гдѣ виднѣлось большое озеро, какъ будто отлого положенное разбитое стекло на зеленѣющую массу лѣса; справа и слѣва возвышались точно луковицы горы или съ чернымъ лѣсомъ, или съ бѣлою или глинистою почвою. Здѣсь царила тишина, прерываемая только чириканьемъ птичекъ, карканьемъ воронъ и щебетаньемъ сорокъ. Въ полуторѣ верстахъ отъ горы Николай Глумовъ указалъ на небольшой холмъ, поросшій невысокими соснами, который былъ окруженъ кустарникомъ березы, рѣдкимъ до того, что къ нему свободно проходило солнце, и около него съ одной стороны журчалъ узенькій источникъ. Здѣсь въ кварцевыхъ породахъ Горюновъ увидалъ золотоносныя розсыпи, которыя чуть-чуть были видны для глазъ и тянулись по лугу саженъ на двѣсти.

Горюновъ запримѣтилъ мѣсто и пошелъ на югъ

по теченію источника, но источникъ вдался вправо, мѣстность была холмистая; между холмами не было воды; ему пришлось проходить черезъ густой тѣсъ, потомъ наткнуться на аршинную змѣю, на болото, на рѣчку и только къ вечеру на другой день онъ вышелъ съ Глумовымъ на Старо-Удойкинскій пріискъ.

Анучкинъ былъ дома и подозрительно смотрѣлъ на Горюнова, разспрашивая, гдѣ онъ былъ такъ долго, но Горюновъ говорилъ, что онъ искалъ свою лошадь. Довѣренный между тѣмъ пьянствовалъ, такъ что всѣми дѣлами заправлялъ приказчикъ съ ревизоромъ. Черезъ недѣлю послѣ того, какъ Горюновъ нашелъ *телку*, приказчикъ, оставивъ Анучкина при довѣренномъ для того, чтобы если довѣренному понадобится водка, то Анучкинъ подавалъ бы ему ее, ушелъ съ ревизоромъ на охоту.

Анучкинъ рѣдко приходилъ къ Горюнову, а когда вечеромъ Горюновъ пришелъ навѣдать его, то нашелъ его запершимся въ комнатѣ. Сквозь замочную скважину Горюновъ увидалъ, что Анучкинъ что-то дѣлаетъ, наклонившись къ полу.

— Вижу, все вижу,—безсовѣстный. Вотъ тѣ и товарищъ!—проговорилъ Горюновъ.

Анучкинъ вздрогнулъ, подошелъ къ двери и тоже взглянулъ въ замочную скважину, но такъ какъ въ нее глядѣлъ Горюновъ, то онъ увидалъ только черный зрачокъ.

— Отпирай!—шепнулъ Горюновъ.

— Не донесешь?

— Провалиться!

Анучкинъ отперъ дверь.

Довѣренный лежалъ на спинѣ съ посинѣлымъ опухшимъ лицомъ и открытыми глазами, на которые уже были положены мѣдныя гривны. Онъ умеръ. Въ комнатѣ было душно, жарко; но Анучкинъ работалъ усердно: онъ уже до половины разобралъ вещи въ чемоданѣ, принадлежащемъ довѣренному, и только на днѣ его увидалъ кожаную сумку, наполненную золотомъ.

Анучкинъ раздѣлилъ золото пополамъ съ Горюновымъ, разсыпавъ его въ плитки: затѣмъ сумку положилъ на мѣсто, склалъ вещи, заперъ чемоданъ и положилъ ключи подъ подушку довѣреннаго. Затѣмъ они вышли изъ избы, чтобы спрятать золото.

— Ну, Терентій Иванычъ, молчокъ!

— Ты только молчи. Не удрать ли намъ теперь?

— А въ лавкѣ кто?

— Возьмемъ съ собой Кольку Глумова.

— Это на какой предметъ?

Горюновъ спохватился.

— Ты, братъ, не коли. Я за Колькой давно слѣжу... Знаю, братъ, куда онъ ходитъ въ лѣсъ-то.

— Куда?

— А за пять да за шесть верстъ... Однако, Горюновъ, намъ надо рѣшиться съ тобой: намъ съ тобой обоимъ послѣ этого не ужиться на пріискѣ. Мы и раньше ссорились другъ съ другомъ. Намъ надо разойтись: или тебѣ, или мнѣ вонъ отсюда. Ты думаешь, я безъ цѣли допустилъ тебя ограбить довѣреннаго? Да если бы я тебя понималъ такъ, что ты человѣкъ неразсудительный, я бы тебя у дверей же убилъ бы и забралъ бы все золото... Ты человѣкъ неопороченный, а я бѣглый, мнѣ только и можно жить, что здѣсь... Ужъ ты предоставь мнѣ умереть въ спокоѣ!

Горюновъ молчалъ. Онъ думалъ, что Анучкинъ правъ.

— Съ деньгами ты вездѣ можешь заняться, чѣмъ угодно, а покажись я—меня схватятъ и посадятъ въ острогъ. Правду ли я говорю?

— Я не буду мѣшать тебѣ, Тарасъ Трифонычъ. Я уѣду.

Анучкинъ крѣпко пожалъ ему руку, утеръ навернувшіяся на глазахъ слезы и проговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Спасибо, Терентій Иванычъ... По гробъ не забуду тебя... Ей-Богу!—И они разошлись.

Пришедши домой, оба они ни слова не говорили никому о смерти довѣреннаго и не возобновляли разговора относительно дѣлежа и находящейся руды въ извѣстномъ имъ обоимъ мѣстѣ.

Горюновъ соболѣзновалъ о томъ, что сдѣлалъ оплошность. И къ чему ему было говорить объ отъѣздѣ съ Колькой Глумовымъ съ пріисковъ? Ему бы надо молчать и выжидать удобнаго времени, потомъ ѣхать въ городъ, продать золото, записаться въ купцы, какъ и сдѣлали самостоятельные мастеровые Терентьевскаго завода, еще находясь въ крѣпостномъ состояніи, а тогда, въ случаѣ рѣшенія по справедливости дѣла объ ихъ каверзахъ, онъ могъ бы избѣгнуть тѣлеснаго наказанія. Горюновъ не могъ теперь имѣть пріиска, потому что онъ считался мастеровымъ; но только стоило записаться въ купцы... «Эдакой я дуракъ! И отчего это я не сообразилъ сегодня. А вѣдь я думалъ раньше объ этомъ. Все это отъ радости произошло: шутка ли найти самородку»... Но обѣщаніе уже было дано Анучкину; Анучкинъ еще въ прошломъ году говорилъ, что онъ знаетъ богатое мѣсто, и если это мѣсто у него украдутъ, то ему не для чего больше и жить.

«Нѣтъ, не туда ты попалъ, Тереха! Здѣсь народъ сборный; надо много воли, чтобы что-нибудь забрать въ руки... Тутъ надо десятки лѣтъ жить, чтобы потомъ считать своимъ какое-нибудь мѣсто... Не даромъ, сколько здѣсь живетъ народу, которымъ кромѣ пріисковъ некуда дѣваться»...

«Вотъ она и пріисковая жизнь. Пришелъ я съ двумя глазами, а уйду съ однимъ. А уйти надо, пока цѣлъ. Богъ съ нимъ, и съ золотомъ»...

Въ это время на пріискахъ только и было разговоровъ, что о строющихся желѣзныхъ дорогахъ, о чемъ постоянно сообщали вновь прибѣгающіе бѣглые. Жизнь на желѣзныхъ дорогахъ они хвалили, но говорили, что пробраться туда очень трудно, потому что нужно пройти непремѣнно тѣ губерніи, черезъ которыя рѣдко кому удается пройти благополучно.

Горюновъ сообразилъ, что тамъ ему будетъ лучше, именно потому, что тамъ онъ будетъ находиться вблизи большихъ городовъ, обсчитывать и творить расправу, какъ на пріискахъ, тамъ едва ли можно, да и онъ продастъ золото и будетъ хлопотать,

чтобы его сдѣлали какимъ-нибудь приказчикомъ или надсмотрщикомъ, которые, какъ говорили бѣглые, получаютъ тамъ большое жалованье. И такъ, Горюновъ рѣшилъ идти на желѣзную дорогу.

Въ домѣ довѣреннаго безъ сцены не обошлось. Когда пришли утромъ съ охоты приказчикъ съ ревизоромъ, Анучкинъ сказалъ имъ, что довѣренный ночью, вышивая изъ стакана водку, поперхнулся, съ нимъ сдѣлались корчи, такъ что Анучкинъ держалъ его за ноги, но скоро довѣренный захрипѣлъ и померъ; оба пріятеля очень обрадовались, сказавъ: «туда и дорога», а приказчикъ, заперевъ дверь, сказалъ Анучкину, чтобы онъ объявилъ о смерти довѣреннаго рабочимъ и съѣздилъ въ село за становымъ приставомъ. Анучкинъ сталъ смотрѣть въ замочную скважину. Приказчикъ досталъ изъ-подъ подушки ключи, отперъ чемоданъ и съ чиновникомъ сталъ выбрасывать изъ него вещи.

— Тутъ, проклятая... цѣла!—говорилъ съ яростью и радостью приказчикъ; но отперевъ сумку и поглядѣвъ въ нее, вдругъ поблѣднѣлъ, разинулъ ротъ, не то отъ испуга, не то отъ удивленія, и ничего не могъ выговорить.

Чиновникъ, сидя, какъ и приказчикъ, на карачкахъ, улыбнулся и спросилъ:

— Пусто?—и взялъ сумку.

— Полюбуйся-ко!—проговорилъ приказчикъ.

— Чего и говорить... мерзавецъ! — И чиновникъ швырнулъ сумку въ приказчика.

«Ну, слава Богу! Теперь они подерутся; надо скорѣй отослать Горюнова... А то послѣ они опомнятся и будутъ оба подозрѣвать меня», подумалъ Анучкинъ и объявилъ Горюнову, чтобы онъ ѣхалъ какъ можно скорѣе въ горный городъ и взялъ съ собою Глумовыхъ.

— А ихъ зачѣмъ?

— Они знаютъ телку.

Ребята безпрекословно согласились ѣхать въ село за закупкой провизіи, какъ имъ объявилъ Горюновъ.

Черезъ пять дней Терентій Иванычъ былъ въ городѣ. Первымъ дѣломъ онъ отправился къ одному богатому купцу-раскольнику, но управляющій сказалъ, что купецъ умеръ, а всѣми его дѣлами заправляетъ его братъ, который имѣетъ нѣсколько пріисковъ въ разныхъ мѣстахъ и принимаетъ золото отъ бѣглыхъ людей изъ другихъ пріисковъ черезъ посредство управляющаго, потому что ему самому неловко разговаривать или рядиться съ мужиками.

— За самородку я тебѣ дамъ триста рублей; золота тянетъ два съ половиною фунта... Хочешь получить по полтораста рублей за фунтъ? — сказалъ управляющій, отдавая свертокъ Горюнову.

— Вы меньше казенной цѣны даете. На казенныхъ пріискахъ управители платятъ по два съ половиною за золотникъ.

— Берешь, или нѣтъ?

— Да хоть пятьсотъ рублей дайте.

— Ни копейки. Двѣсти рублей сейчасъ, двѣсти черезъ шесть мѣсяцевъ, когда получатся деньги изъ петербургскаго монетнаго двора. Согласенъ?

— Если расписочку дадите.

— Ничего я тебѣ не дамъ. Ты знаешь ли, мнѣ только стоитъ позвонить и позвать служителя... и тебя сейчасъ же арестуютъ. Понимаешь?

— Кабы вы понимали, какъ не легко достается золото! Нельзя ли хоть черезъ мѣсяцъ, потому не мое золото.

Управляющій подумалъ и сказалъ:

— Если хочешь получить триста рублей сейчасъ, приходи за остальными черезъ полгода.

Горюновъ согласился.

Получивши деньги, Горюновъ записался въ городскіе мѣщане и сталъ разыскивать свою родню, но нигдѣ никто изъ его знакомыхъ объ его роднѣ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній, почему онъ и уѣхалъ въ М. заводъ. Узнавши тамъ, что Короваевъ съ Григорьемъ Горюновымъ и какою-то молодою женщиною ушли на желѣзную дорогу, Терентій Иванычъ поплылъ на пароходѣ въ Нижній, радуясь, что Пелагея Прохоровна вышла-таки замужъ за Короваева.

XXI.

По пріѣздѣ въ Нагорскъ, Терентій Иванычъ съ Глумовыми долго искалъ главное управленіе желѣзной дороги, отъ котораго, какъ онъ узналъ на пароходѣ, зависитъ опредѣленіе должностныхъ лицъ. Отыскавши правленіе, Горюновъ не скоро добился въ немъ толку, отъ кого зависитъ опредѣленіе. Дальше хорошо обставленной и хорошо меблированной пріемной, въ которой сторожа были отставные рослые унтеръ-офицеры съ медалями, его не пускали, да и въ пріемной онъ не могъ добиться никакого толку прежде, чѣмъ не подарилъ сторожей, занимавшихся приготовленіемъ для членовъ чая и снимавшихъ и надѣвавшихъ на членовъ верхнія одежды. Сначала сторожа гнали его, но потомъ, когда онъ подарилъ ихъ, сказали, едва ли правленіе можетъ что сдѣлать для него, такъ какъ оно опредѣляетъ и увольняетъ только главныхъ лицъ, ведетъ дѣла съ конторами, и обѣщали похлопотать за него передъ однимъ снисходительнымъ членомъ. Но сколько ни приходилъ Горюновъ въ пріемную, онъ только и видѣлъ, какъ служащіе съ важностью приходили и уходили мимо него, презрительно смотря на его смѣшную фигуру. Наконецъ-таки сторожа выхлопотали ему аудіенцію съ однимъ членомъ на лѣстницѣ:

— Мы не принимаемъ!—сказалъ важно членъ и сталъ спускаться.

— Ваше б-іе, я могу залогъ внести.

— Безъ рекомендаціи мы не принимаемъ.

— Я, в-в-іе...

— Что ты меня останавливаешь, скотина!

Горюновъ опять прибѣгнулъ къ помощи сторожей, но тѣ посовѣтовали ему лучше обратиться въ какую-нибудь контору, подчиненную правленію, но успѣха не обѣщали, потому что теперь уже всѣ должности заняты.

Проѣхавши Нагорскъ, Горюновъ увидалъ другую жизнь. До этого города онъ видѣлъ жизнь прибережную, людей занятыхъ преимущественно сплавомъ по рѣкамъ товаровъ, лѣса, металловъ и камней; эти товары и люди давали средства къ суще-

ствованіе городамъ, селамъ, деревнямъ; тамъ люди или жили постоянно въ однихъ мѣстахъ, или все лѣто находились на рѣкахъ; здѣсь же, напротивъ, несмотря на то, что ему попадалось много фабрикъ, онъ проходилъ хорошіе луга, превосходныя пашни; народъ, большею частью въ лаптяхъ, куда-то шелъ и ѣхалъ, то съ котомками, то съ каменьемъ, товарами, и народъ этотъ торопился; на всѣхъ лицахъ виднѣлось какое-то нетерпѣніе; пѣшеходы говорили мало, и если говорили, то часто вздыхали, какъ будто въ словахъ ихъ заключалась надежда и сомнѣніе.

— Куда вы?—спрашивалъ Горюновъ.

— На желѣзную дорогу.

— А товары?

— Кои на желѣзную дорогу: имъ, пѣшеходамъ-то, осталось не больше ста верстъ, а тамъ они скоро въ Москву попадутъ, а кои въ другіе края.

Встрѣчные, большею частью въ телѣгахъ, отвѣчали, что они тоже съ желѣзной дороги и ѣдутъ за провизіей, или за камнемъ, или за кирпичами.

Наконецъ не стало ѣхать по дорогѣ товаровъ. Толпы народа больше и больше прибывали изъ разныхъ мѣстъ или на дорогу, идущую къ желѣзной; больше и больше стало ѣхать по тому же направленію телѣгъ съ камнемъ и кирпичемъ, такъ что часто ихъ шло до пятидесяти телѣгъ; больше и больше везли туда бревенъ. Больше и больше по дорогѣ попадало нищихъ, которые или шли навстрѣчу Горюнову, или сидѣли кучками около дороги... Пашни казались заброшенными; въ деревняхъ виднѣлись только дѣти, глухіе, слѣпые и больные старые люди да тощій скотъ; меньше и меньше становилось по дорогѣ лѣсу, и тамъ, гдѣ было поле, земля была ископана на нѣсколько футовъ внутрь. А дороги не видать.

— Гдѣ же дорога?

— А во! Направо-то, видишь песокъ, какъ гряда сдѣлана! - указывая на насыпь, говорили Горюнову шедшіе на желѣзную дорогу.

Насыпь была ровна; она то была выше дороги, по которой шелъ Горюновъ, то ниже ея; но на насыпи суетился народъ, къ ней подвозили песокъ, недалеко отъ нея на площадкѣ складывали каменья, кирпичъ; въ разныхъ мѣстахъ копали землю, разбивали крупные камни, кое-гдѣ распиливали бревна, что-то тесали. По одной сторонѣ насыпи бѣлѣли телеграфные столбы. Кругомъ было мрачно; отъ рабочихъ слышались громкія восклицанія, да стукъ топоровъ тамъ и сямъ оглушалъ мѣстность. На разстояніи шести, семи верстъ около опушки лѣса или около насыпи сдѣланы были небольшія избушки изъ досокъ или балаганы, служащіе помѣщеніемъ для рабочихъ въ ночное время и мѣстомъ для склада топоровъ, пилъ, лопатъ и другихъ вещей, принадлежащихъ строителямъ желѣзной дороги. Дорога шла параллельно желѣзной дорогѣ между рѣдкимъ лѣсомъ и полями, на которыхъ только была кое-какъ вспахана земля. Пересѣкши насыпь, дорога шла по ровному мѣсту, около дороги. На этой сторонѣ лѣсъ былъ вырубленъ саженъ на десять отъ края уступа, и отсюда дорога казалась какъ бы вырѣзанною между холмами. Далѣе дорога заворотила вправо и версты полторы шла лѣсомъ, а потомъ пошла опять въ виду насыпи, которая отсюда казалась высокою стѣною.

— Прежде здѣсь никакой дороги не было, а теперь, гляди, какую проложили дорогу, и дорога-то эта выходить короче трактовой, только по ней не велятъ ѣздить съ товарами, али проѣзжающимъ, потому эта дорога компанейская,—объяснили Горюнову пѣшеходы.

Здѣсь уже меньше ѣхало телѣгъ съ принадлежностями дороги, зато попадались на встрѣчу телѣги, наполненныя больными мужчинами и женщинами.

— Господи помилуй! Ни одного дня не пройдетъ безъ того, чтобы не попадались хворые.

— Куда же ихъ везутъ?

— Куда? Извѣстно, куда! Вывезутъ на большую дорогу, и иди, откуда пришелъ. Хорошо, если село свое или деревня близко, а то такъ и помретъ иной человѣкъ на дорогѣ. У компанеевъ денегъ много, только не станутъ же они съ хворыми возиться, когда, говорятъ, они подрядились дорогу къ сроку сдѣлать... Коли въ силѣ человѣкъ—робь, и отдыха нѣту, а коли помираетъ—домой его. Разъ было привязались къ управителю, онъ и говоритъ: «у насъ де люди не умираютъ, а коли они умерли за чертой—дѣло не наше, а Божье».

Товарищи Горюнова были крестьяне недальнихъ губерній. Всѣ они жаловались на большія подати.

— Поневолѣ пойдешь въ тяжелую работу. Прошлое лѣто мы всей семьей ходили... Только если бы тяжелая работа, да не болѣзнь, ничего бы. И такъ всѣ повинности уплатили, а зиму дома пропаялись кое-какъ.

Мало-по-малу мѣстность по обѣимъ сторонамъ насыпи дѣлалась оживленнѣе. По одной или по обѣ стороны насыпи лежали на нѣсколько верстъ длины перекладины для полотна; на насыпи укладывали перекладины, засыпая пескомъ полотно; по бокамъ насыпь кое-гдѣ убивали щебнемъ. Дальше на полотнѣ лежали рельсы, а еще дальше рельсы уже укладывали на полотно; въ промежуткахъ рѣчекъ уже оканчивалась кладка фундамента и приступали къ кладкѣ устоевъ для мостовъ; черезъ одну рѣчку, шириною шестьдесятъ саженъ, береговые устои были уже готовы, и одинъ рѣчной гранитный быкъ былъ выведенъ на половину; окрашенныя металлическія части къ этому мосту лежали на полотнѣ. На протяженіи по крайней мѣрѣ тридцати верстъ, какъ на полотнѣ, такъ и около него, работало много народа, преимущественно мужчинъ; женщинъ же было очень немного. Работа шла разнообразная: кто дѣйствовалъ лопатой, кто молотомъ, кто киркой, кто топоромъ, кто ломомъ... Здѣсь никто не сидѣлъ безъ дѣла, а если и курилъ трубку, то старался сократить это удовольствіе или работалъ держа трубку во рту. По полотну и около насыпи ходили мастера и приказчики, большею частью нѣмцы или чухонцы въ курткахъ или пальто, или черныхъ рубахахъ, опоясанныхъ ремнемъ, и черныхъ засаленныхъ брюкахъ, въ длинныхъ сапогахъ, застегнутыхъ повыше колѣнъ ремнями, и фуражкахъ

на подобіе крышекъ съ длинными козырьками и съ пуговками на верхушкахъ ихъ. Они, покуривая трубки или сигары, понукали народъ работать скорѣе, распоряжались тѣмъ, какъ и что нужно сдѣлать, куда что и какъ приложить. Близъ двухъ деревень, между которыми проложена дорога, около дороги построено нѣсколько балагановъ: въ однихъ хранились инструменты, въ другихъ находились кузницы, въ третьихъ помѣщались рабочіе. За этими балаганами стояли цѣлыя полѣнницы кирпича, а противъ нихъ былъ устроенъ большой бассейнъ, строили каменное водоемное и водокачальное зданіе и производили каменную кладку зданій. Всюду между этими постройками валялись коробки съ гайками, крючьями и молотками, рельсы, перекладины, мужскіе зипуны, полушубки, лопаты и всякіе инструменты. Кое-гдѣ около дороги догорали щепки... Народу вездѣ было такъ много, что его трудно было сосчитать. Работа, что называется, кипѣла; здѣсь не слышалось пѣсенъ и веселыхъ разговоровъ, но зато воздухъ оглашался стукомъ чугуна и стали, какъ на какой-нибудь большой фабрикѣ.

«Ну, Терха, здѣсь много не разживешься. Народу-то, народу-то!!.. Недаромъ столько его валитъ сюда», думалъ про себя Горюновъ, удивляясь.

Но никто такъ не удивлялся, какъ Николай и Петръ Глумовы.

— Славно здѣсь, Терентій Иванычъ. Только ребятъ здѣсь что-то не видать.

«Гдѣ-то мои?» думалъ Горюновъ и, подошедши къ одной кучкѣ рабочихъ, обтесывающихъ каменья, спросилъ:

— Не знаете ли, братцы, Короваева или Горюнова?

— Такихъ не слыхали... Какой губерніи?

Горюновъ сказалъ.

— Такихъ не знаемъ. Здѣсь много всякихъ.

— Кто же у васъ въ работу принимаетъ?

— А вонъ чухна, что съ цыгаркой ходитъ.

— А русскихъ развѣ нѣтъ?

— Русскихъ-то? Русскіе только подрядами занимаются: муку, кирпичъ да другіе матеріалы поставляютъ и отъ себя приказчиковъ нанимаютъ, только компанеямъ то нѣмцы лучше нравятся. Прежде, бывало, были русскіе, да прогнали ихъ, потому они пить стали да крѣпко поворовывали. Ну, а эти хоть и воруютъ, все же люди свои, а если и пьютъ, такъ на ногахъ крѣпки. Теперь вонъ погляди, кто мосты дѣлаетъ? Чухны да нѣмцы!.. И платятъ имъ цѣлковыхъ по три, по пяти въ сутки.

— Есть же у васъ кто-нибудь главный-то?

— Какъ нѣту. Онъ вонъ въ деревнѣ живетъ; поди теперь съ инженерами въ карты дуется.

Горюновъ изъ этихъ разговоровъ понялъ, что ему тутъ не сдѣлаться приказчикомъ. Онъ видѣлъ, что приказчики распоряжаются даже надъ тѣмъ, что и откуда взять, и спорятъ съ мастерами; онъ же въ постройкѣ желѣзной дороги ничего не смыслитъ. Поэтому онъ затруднился въ томъ, что ему выбрать для занятія. Не обидно ли будетъ ему, промывавшему золото, дѣлать то, что ему прикажутъ? Онъ соглашался работать вблизи деревни; но боялся, чтобы его не послали туда, гдѣ только-что начинаютъ облаживать полотно дороги.

Горюновъ подошелъ къ приказчику и изъявилъ желаніе работать.

— Что можешь?—спросилъ его приказчикъ.

— Да все, что угодно.

— Такъ нельзя... Ты долженъ знайтъ одинъ ремесло,—каменщикъ, плотникъ, токарь, али машинистъ... Э! не годишься!

— Почему?

— Мы съ однимъ глазомъ не принимаемъ.

— Такъ возьми ребятъ.

— Силы у нихъ нѣтъ. Можете дыры сверлить? Вонъ какъ тотъ сверлитъ.

— Мы на горныхъ заводахъ робили, — сказалъ Горюновъ.

— Ну, а здѣсь не заводъ, а желѣзная дорога.

Однако приказчикъ принялъ Горюнова и Глумовыхъ, заставивъ ихъ сверлить дыры въ рельсахъ. Сперва Глумовымъ эта работа нравилась: имъ приходилось сидѣть на горбинѣ около рельсовой полосы и двигать къ себѣ обѣими руками рѣзецъ. Они работали попеременно: сперва сидѣлъ Николай, а Петръ стоялъ передъ нимъ, подливая масло въ рѣзецъ, потомъ садился Петръ, но къ вечеру они устали, и когда увидалъ ихъ приказчикъ сидящими безъ дѣла, то погрозился прогнать. Горюнову досталась тоже нетрудная работа: разбить рельсовую полосу къ вечеру, когда ее хотѣли пригнать на полотно; но сколько ни усердствовалъ Горюновъ, ударяя молотомъ въ долото, онъ только до половины разбилъ полосу, и приказчикъ, отобравъ отъ Горюнова марку, велѣлъ ему уходить прочь.

Все-таки Горюновъ съ Глумовыми проработалъ на рельсахъ недѣлю. Въ воскресенье онъ хотѣлъ отдохнуть, но увидалъ, что на желѣзной дорогѣ праздниковъ нѣтъ, напротивъ, даже по ночамъ стали работать, зажигая фонари. За сутки давали платы рубль серебра.

Всѣ рабочіе умѣщались въ нѣсколькихъ балаганахъ, сколоченныхъ на скорую руку изъ досокъ: въ этихъ балаганахъ пекли для нихъ хлѣбъ и варили щи, да въ нихъ лежали и больные. Все остальное время рабочіе находились на работѣ. Каждый рабочій, получившій утромъ марку съ нумеромъ, долженъ былъ носить эту марку при себѣ, и потомъ вечеромъ или на другой день утромъ предъявить ее приказчику для отмѣтки въ его записной книжкѣ; если какой-нибудь рабочій не въ состояніи былъ работать, приказчикъ отбиралъ отъ него марку, и если были у него деньги, разсчитывалъ его, что впрочемъ случалось очень рѣдко. Колоколовъ на желѣзной дорогѣ не было, но каждая смѣна или остановка работы, время обѣда и ужина, конецъ обѣда и ужина извѣщались свистками приказчиковъ. Къ обѣду и ужину приказчики подносили рабочимъ по чаркѣ водки, и рабочіе ѣли подъ открытымъ небомъ тамъ же, гдѣ они работали, не смотря и на дождь. Работа не прекращалась на рельсахъ ни днемъ, ни ночью, ни въ дождь, ни въ громъ, только въ градъ и грозу рабочіе уходили

въ балаганы, потому что бывали случаи, что нѣсколькихъ рабочихъ убило при работахъ около желѣза. Въ дождь приказчики надѣвали кожаныя пальто, а рабочіе свои зипуны или полушубки вверхъ шерстью. Когда не было дождя, рабочіе спали на открытомъ воздухѣ на сухихъ мѣстахъ: усталые, измученные и голодные, они скоро засыпали. Кормили всѣхъ скверными щами, потому что мясо привозили изъ города, и хлѣбъ былъ недопеченый... Отъ этого рѣдкій рабочій былъ въ состояніи проработать къ ряду два мѣсяца, забирался въ балаганъ, и если ему становилось легче, онъ опять шелъ на работу; а если ему становилось хуже, его отвозили въ компанейскихъ телѣгахъ на трактовую или проселочную дороги, въ села или деревни, смотря потому, что̀ было ближе къ желѣзной дорогѣ. Это дѣлалось и потому еще, что въ городахъ больныхъ съ желѣзной дороги будто бы не принимали, такъ какъ тамъ или вовсе не существовало больницъ, или въ больницахъ помѣщались только городскіе обыватели. Больше всѣхъ доставалось рабочимъ, устроивавшимъ мосты. Имъ хотя платили и больше, но рѣдкіе изъ нихъ могли въ ненастное время проработать мѣсяцъ или три недѣли, не захворавъ потомъ.

Но какъ ни тяжела была работа, здѣсь каждый надѣялся на полученіе хорошей платы, и это удерживало рабочихъ на желѣзной дорогѣ. Хотя же они однажды и требовали отъ управляющаго улучшенія пищи, но онъ имъ сказалъ: «не хотите компанейскихъ хлѣбовъ,—можете сами печь хлѣбъ и варить щи», и велѣлъ прекратить кормъ рабочихъ. И всѣ рабочіе остались безъ хлѣба и безъ щей, потому что сельскимъ деревенскимъ жителямъ строго было приказано не продавать ничего на желѣзную дорогу, подъ опасеніемъ взысканія большого штрафа, также никто не смѣлъ и съ дорогъ подвозить провизію къ желѣзной дорогѣ. Пришлось обратиться къ компанейской пищѣ, за которую вычитали по пятнадцати копеекъ въ сутки съ человѣка, не ставя впрочемъ разбавленную водой водку въ счетъ. Если же кто хотѣлъ выпить болѣе двухъ чарокъ въ сутки, тотъ платилъ по четыре копейки за чарку. Однако несмотря на разныя строгости, рабочіе напивались въ селахъ и деревняхъ на ночь и покупали тамъ табакъ. Чтобы прекратить такое самовольство, приказчики стали хлопотать о томъ, чтобы имъ было дозволено вычитать изъ платы рабочихъ каждое путешествіе въ село и деревню, но управляющій разрѣшилъ приказчикамъ заниматься торговлею въ селахъ. Сельскимъ жителямъ было трудно конкурировать съ богатыми людьми, которые всячески старались разорить своихъ противниковъ какимъ-нибудь образомъ. Отъ этого и вышло то, что въ селахъ цѣны на все, кромѣ водки, поднялись очень высоко, и рабочіе, получившіе деньги отъ приказчиковъ, половину или двѣ трети ихъ отдавали имъ же.

Прожилъ Горюновъ на желѣзной дорогѣ мѣсяцъ, а своихъ не разыскалъ. Онъ такъ и думалъ, что Короваевъ непремѣнно ушелъ куда-нибудь, и подумалъ махнуть въ Петербургъ попытать счастья. О Петербургѣ и здѣсь ходили хорошія вѣсти... Но его удерживало то, что такого-то числа назначена была отъ станціи проба на протяженіи пятнадцати верстъ: хотѣли пустить локомотивъ съ пятнадцатью вагонами, наполненными рельсами. Этого дня ждали съ нетерпѣніемъ; большинство рабочихъ хотѣло удостовѣриться въ полезности ихъ труда, и сомнѣвалось, чтобы поѣздъ могъ пройти по рельсамъ, не свалившись въ оврагъ, такъ какъ рельсы были положены въ одномъ мѣстѣ на поларшина отъ края, а полотно было устроено на три сажени выше отъ земли.

Наконецъ насталъ и этотъ день. Приказчики и мастера бѣгали, какъ угорѣлые, съ ранняго утра, смотря направо, откуда долженъ былъ идти поѣздъ; всѣ инструменты были убраны съ рельсовъ и полотна, тормазы были нѣсколько разъ испробованы и приведены въ порядокъ, рабочихъ гнали съ полотна. Но къ вечеру ихъ извѣстили, что у двухъ вагоновъ лопнули два колеса и поѣздъ придетъ завтра. Вечеромъ впрочемъ показался вдали локомотивъ, свистнулъ и медленно прошелъ одинъ по рельсамъ. На третій день онъ привезъ двадцать вагоновъ-ящиковъ съ рельсами, отцѣпилъ вагоны и ушелъ обратно по другому пути.

— Каково претъ-то! Въ каждомъ ящикѣ чать пудовъ двѣсти будетъ... Штука!

— И не упалъ!

— Знатно, значитъ, устроили.

Съ этого дня началось движеніе между двумя станціями, изъ коихъ на одной постройки уже приводились къ концу, а на другой еще только что оканчивали кладку фундамента. Локомотивъ по два раза въ сутки привозилъ сперва вагоны-ящики съ пескомъ, на которомъ уже сидѣли съ лопатами по два человѣка, и выбросавъ изъ ящика песокъ, отправлялись назадъ, потомъ камень и другія принадлежности для желѣзной дороги. Теперь работа шла еще сильнѣе прежняго и, какъ говорится, приводилась уже на-бѣло.

Горюновъ уже хотѣлъ идти совсѣмъ, да захворалъ Николай Глумовъ, котораго ни за что не захотѣлъ покинуть братъ. На другой день захворалъ не только братъ, но и Горюновъ, и человѣкъ пятьдесятъ рабочихъ; отъ нихъ горячка распространилась и въ другіе балаганы, а время было дождливое, осеннее, дулъ рѣзкій вѣтеръ. Приказчики струхнули, донесли управляющему, который распорядился построить на скорую руку большой балаганъ вблизи села. Пока отстроили балаганъ, рабочіе умирали десятками въ старыхъ, сырыхъ и угарныхъ балаганахъ на полу и въ грязи. Начальство вызвало нѣсколько фельдшеровъ съ однимъ уѣзднымъ лекаремъ, которые, надо правду сказать, больнымъ рабочимъ не принесли ровно никакой пользы, потому что при нихъ не было лѣкарствъ, и они могли только пустить кое-кому кровь. Между тѣмъ управленіе желѣзной дороги хвасталось публично, что у него около станцій устроены больницы на нѣсколько кроватей и больные пользуются всѣми медицинскими средствами на счетъ управле-

нія. Избу состроили скоро, но въ ней еще больше стало умирать. Однако, несмотря на то, что больные не умѣщались въ избахъ, валялись тамъ и сямъ десятками, въ рабочихъ недостатка не было; они то и дѣло замѣнялись другими, и большею частью уже такими, которые давно работали на дорогѣ, перенесли болѣзни и, такъ сказать, обтерпѣлись, и которыхъ привозили въ ящикахъ уже по желѣзной дорогѣ изъ другихъ промежуточныхъ станцій, гдѣ уже требовалось немного.

Горюновъ выздоровѣлъ, то есть онъ могъ едва-едва бродить, а на желѣзной дорогѣ тѣ, которые были въ состояніи немного ходить, уходили въ села или въ деревни, гдѣ и поправлялись. Такъ и Горюновъ ушелъ въ село одинъ. Глумовы померли еще въ старомъ балаганѣ. Къ этому горю прибавилось еще другое: во время его безпамятства у него украли платокъ съ деньгами, который онъ постоянно носилъ за рубахой на груди. Въ декабрѣ мѣсяцѣ онъ поправился совсѣмъ. Въ это время дорога въ томъ мѣстѣ, гдѣ работалъ первое время Горюновъ, была уже окончена совсѣмъ, на дорогѣ рабочихъ уже не было, а рабочіе были только у станціи, красиваго каменнаго зданія съ фигурчатыми окнами и стѣнами.

И чортъ же меня сунулъ сюда, прости Господи!—ворчалъ Горюновъ—Купилъ бы я на родинѣ домъ, устроилъ бы постоялый дворъ... Нѣтъ! Жадность поганая! Денегъ больше захотѣлось имѣть... Что я теперь? Нищій... Ужъ лучше бы было помереть, какъ ребятишки Глумовскіе померли. Бѣдные ребятишки! А какъ я васъ любилъ-то вѣдь!—И Горюновъ утиралъ слезы съ глазъ.

Горюновъ не зналъ, что ему дѣлать? Работать на дорогѣ въ эдакой морозъ ему не хотѣлось. Раньше у него была по крайней мѣрѣ надежда, что онъ къ имѣющимся у него деньгамъ накопитъ еще хоть рублей пятьдесятъ или семьдесятъ и потомъ поѣдетъ по желѣзной дорогѣ въ Петербургъ, гдѣ, по его мнѣнію, съ деньгами онъ могъ бы чѣмъ-нибудь заняться. Но теперь, что онъ за человѣкъ безъ денегъ? Теперь у него и охоты не было работать. Но надо же было что-нибудь дѣлать. И онъ пошелъ къ станціи; тамъ рабочіе додѣлывали платформу. Горюновъ поздоровался съ ними, тѣ молча кивнули головами и сдѣлали между собой нелестное на его счетъ замѣчаніе, состоящее въ томъ, что этотъ кривой человѣкъ вѣроятно накопилъ порядочно денегъ, что безъ работы шляется. Недалеко отъ нихъ двое рабочихъ въ полушубкахъ стругали балку.

— Богъ на помощь!—сказалъ Горюновъ.

Оба рабочіе, держа стругъ въ рукахъ, стали глядѣть на Горюнова.

— Кажись... Ахъ вы, христовые! — проговорилъ внѣ себя отъ радости Терентій Иванычъ, и по заскорузлому его лицу пробѣжали двѣ слезинки.

Рабочіе были Короваевъ и Григорій Прохорычъ. Радость всѣхъ трехъ была неописанная, но они пожали только другъ другу руки. Послѣ разспросовъ, какъ живется, Горюновъ усѣлся около нихъ на доски и сталъ накладывать трубку табакомъ.

— Ну, а гдѣ же, Власъ Васильичъ, твоя молодуха?—спросилъ Горюновъ Короваева робко, боясь услышать непріятное о своей племянницѣ.

— Какая?—спросилъ въ свою очередь Горюнова съ удивленіемъ Короваевъ.

— Какъ?.. Мнѣ сказали въ М. заводѣ, что ты ушелъ съ Пелагеей.

Короваевъ улыбнулся и сказалъ:

— Я самъ объ ней хотѣлъ спросить у тебя... Гдѣ она?

— Оказія!.. Какъ же это?

— Это вонъ Григорій шелъ съ Лизаветой, а я съ ними для компаніи,—сказалъ Короваевъ.

— Я сестру оставилъ въ селѣ... Потомъ я встрѣтился съ Лизаветой въ Прикамскѣ: она кладь тамъ таскала... Ну, она сказала, что Пелагея ушла въ городъ Заводскъ, вскорѣ, какъ Панфила стали судить за фальшивую бумажку... Панфила потомъ выпустили... Я его видѣлъ и звалъ сюда. Хотѣлъ идти,—говорилъ Григорій Прохорычъ.

Запечалились земляки. Но горю не поможешь. Разсказовъ было такъ много у каждаго, что они до вечера проговорили, сидя вмѣстѣ.

Короваевъ говорилъ, что въ М. заводѣ онъ никакъ не могъ заниматься столярною работой, потому что ему не на кого было работать, и онъ работалъ на литейномъ заводѣ. Но работа у огня разслабила его силы такъ, что онъ пролежалъ около двухъ мѣсяцевъ въ больницѣ. Жизнь въ М. заводѣ ему не нравилась по дороговизнѣ и потому, что онъ тамъ начиналъ порядочно попивать, не желая отстать отъ товарищей, да и работа была такая, что выпить хотѣлось. Поэтому онъ никакъ не могъ скопить много денегъ. Подумывалъ онъ и выписать туда Пелагею Прохоровну, которая могла бы купить корову и продавать въ городѣ молоко, чѣмъ даже прокариливаютъ себя иныя тамошнія женщины, но для этого нужно было непремѣнно имѣть свой домъ, огородъ, покосъ, да и онъ не зналъ, понравится ли Пелагеѣ Прохоровнѣ такое занятіе. «Тамошнія женщины — говорилъ Короваевъ—съизмалѣтства привыкли ходить въ городъ, отстоящій отъ завода въ трехъ верстахъ, по два и по три раза въ день, во всякую погоду. Онѣ женщины бойкія, и у нихъ не пропадетъ ни одна копейка. А Пелагеѣ Прохоровнѣ ко всему этому нужно бы было привыкать». А тутъ чуть-было его не женили: стала за нимъ очень ухаживать сестра хозяйки, у которой онъ жилъ на квартирѣ, и дошло даже до того, что самовольно стала распоряжаться его деньгами. Вотъ поэтому Короваевъ рѣшился идти на желѣзную дорогу.

Григорій Прохорычъ говорилъ, что ему тоже не нравилось житье въ М. заводѣ, потому что тамъ много было всякаго народа, и каждый человѣкъ то и дѣло, что хвастался умѣньемъ взяться за все; въ сущности же лѣнились всѣ, надѣясь на другихъ. Кромѣ этого въ М. такъ было много воровъ, что по ночамъ было опасно ходить отъ города въ заводъ. Тамошнія дѣвицы ему не нравились потому,

что предпочитали халатникамъ сюртучниковъ, наряжались по-городски, и вообще, на его взглядъ, не могли бы ужиться съ однимъ мужемъ, тѣмъ болѣе, что сами зарабатывали себѣ пищу и одежду отъ огородовъ и коровъ. Хотя же онъ и сердился на Лизавету Ульянову, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ увидалъ ее на пристани, его тянуло поговорить съ ней, такъ какъ до нея у него не было тамъ знакомыхъ женщинъ, въ которыхъ бы онъ могъ влюбиться, а у нея тоже тамъ не было пріятелей. Мало-по-малу они сошлись, но обѣщались другъ другу жениться, накопивъ капиталъ на желѣзной дорогѣ, куда пошла съ нимъ и Степанида Власовна съ дѣтьми. Но Степанида Власовна испугалась далекаго путешествія и осталась съ дѣтьми въ Поярковѣ.

Вечеромъ всѣ земляки ушли въ теплую избу. Изба здѣсь была свѣтла, просторна и имѣла большую русскую печь. Эта была образцовая изба, которую компаніи показывали начальству путей сообщенія, увѣряя его, что здѣсь помѣщается большинство рабочихъ, которыхъ привозятъ сюда на машинѣ. Въ избѣ было нѣсколько женщинъ, въ томъ числѣ Лизавета Елизаровна. Она была говорливѣе всѣхъ, и по голосу ее далеко было слышно. Она также обрадовалась Терентію Иванычу; но извѣстіе о смерти отца ее недолго печалило, ей уже много приводилось видѣть, какъ здоровые люди умирали скоро.

— Я, дядя, хочу въ Петербургъ.—Хвалятъ тамошнее житье-то. Лизка мнѣ покою не даетъ,— проговорилъ Григорій Прохорычъ.

— Да какъ! Что это за жизнь? Здѣсь съ голоду помрешь и околѣешь, какъ собака... Да и я одна найду туда дорогу, говорила Лизавета Елизаровна, лежа съ Григорьемъ, около котораго лежали Короваевъ и Терентій Иванычъ.

— А есть ли деньги, Гришка?—спросилъ дядя племянника.

— Мы съ Лизкой ужъ накопили тридцать рублей.

— Да и я тоже думаю,—сказалъ Короваевъ.

— У меня были деньги, да украли ихъ. Вѣдь пятьсотъ рублей было!—привралъ Горюновъ.

— Ну, мы дадимъ; послѣ сочтемся.

— Не хотѣлось бы мнѣ такъ-ту, ребята...

— Полно-ка, Терентій Иванычъ!.. Я вонъ тоже на Гришкины деньги ѣхала сюда,—сказала Лизавета Елизаровна.

— То ты... Нѣтъ, я лучше поработаю.

И земляки остались: но прожили только до апрѣля мѣсяца, потому что сперва захворалъ Григорій Прохорычъ, потомъ Лизавета Елизаровна выкинула младенца, котораго и зарыли въ землю, какъ вещь негодную, на что приказчики не обращали вниманія.

Въ апрѣлѣ земляки поѣхали въ Питеръ попробовать:—не лучше ли житье въ столицѣ?

XXII.

Іюнь мѣсяцъ, полдень. Несмотря на то, что идетъ дождь, дѣятельность и всеобщее движеніе не прекращается въ Петербургѣ. Какъ и въ хорошую погоду, многолюдныя улицы полны народомъ; торгаши булками, рубцами, печенкой, яблоками и другою мелочью стоятъ около своихъ подвижныхъ лавочекъ, накрытыхъ клеенкой; артельщики несутъ на головахъ или рояль, или по полдюжинѣ стульевъ, диваны и т. п. громоздкія вещи; ломовыя лошади, сопровождаемыя понукиваньемъ и руганью извозчиковъ, везутъ шагомъ, часто останавливаясь, кули, тюки хлопчатой бумаги, пеньки, желѣзо, машины, ящики съ водой и съ пустыми бутылками; безчисленные городовые, стоя на углахъ улицъ, или отгоняютъ кого-то, или распекаютъ ломового извозчика за то, что у него упала лошадь, или остановился огромный возъ не въ указанномъ мѣстѣ. Изъ высокихъ трубъ фабрикъ и заводовъ, по окраинамъ столицы, поднимается черный дымъ и потомъ, разсѣеваясь, наполняетъ и безъ того удушливый воздухъ смрадомъ. Рѣки и каналы запружены барками и судами, изъ которыхъ выгружаютъ на берега дрова, камни, кирпичи, доски. Много судовъ и барокъ медленно пробираются по рѣкамъ и каналамъ дальше. Огромные дилижансы и пароходы биткомъ набиты пассажирами, ѣдущими съ дачъ и на дачи. На Невскомъ не рѣдкость встрѣтить мужиковъ съ завязанными бичевкой назадъ руками и сзади ихъ городового, держащаго подъ лѣвой мышкой книгу, а въ правой рукѣ концы бичевки... Вездѣ движеніе, суета, восклицанія яблочниковъ, штокъ-фишниковъ, спичечниковъ, татаръ съ халатами, поясами, платками или просто съ узлами и т. п.; трескъ, не умолкающій ни на одну минуту. жалобный стонъ и ревъ фабричныхъ и заводскихъ трубъ, неслышный въ серединѣ города. Никому, кажется, нѣтъ дѣла до того, что дождь мочитъ и мочитъ; только на панеляхъ пѣшеходы стараются обойти лужи, ругая тѣхъ, которые задѣваютъ ихъ зонтиками разныхъ объемовъ, и дворниковъ, которые, сметая съ панелей грязь и воду, безъ церемоніи задѣваютъ метлами по ногамъ пѣшеходовъ. Каменщики преспокойно спускаются и поднимаются съ телѣжками по лѣсамъ около недокладенныхъ каменныхъ домовъ; кое-гдѣ приколачиваютъ надъ окнами новенькія вывѣски, кое-гдѣ поправляютъ штукатурку и красятъ стѣны на домахъ; тамъ и сямъ мужики въ оборванныхъ поддевкахъ разбираютъ на мостовой камни, вколачиваютъ одинъ къ другому, или выбрасываютъ изъ ямы на поверхность черную вонючую грязь, выкачиваютъ воду, пробуя, хорошо ли дѣйствуетъ водопроводная труба. Безъ умолку пристаютъ къ пѣшеходамъ извозчики, безпрестанно ходятъ вокругъ каланчей два сторожа, взглядывая изрѣдка на вывѣшенные два черныхъ шара. Но никто никому не мѣшаетъ, всякій идетъ своей дорогой, ничѣмъ не интересуясь, останавливаясь развѣ тамъ, гдѣ много собралось въ кучу народа; все куда-то спѣшитъ, торопится; на лицахъ не замѣтно радости; каждый при своемъ мѣстѣ, и считаетъ себя находящимся при дѣлѣ.

Поѣздъ, слѣдующій изъ Москвы, опоздалъ. Весь дворъ запруженъ извозчиками, извозчичьими и городскими каретами; барскія кареты стоятъ особо.

Извозчики сидятъ смирно, толкуя другъ съ другомъ; кучера съ огромными бородами, покуривая изъ трубокъ табакъ, тоже разговариваютъ съ лакеями и съ презрѣніемъ поглядываютъ на меньшую братію. По двору ходитъ нѣсколько городовыхъ. Въ вокзалахъ народъ, барыни, разодѣтыя по погодѣ, баре, купцы, купчихи, чиновники и чиновницы, полиція, бѣдно одѣтые люди. Нѣкоторые изъ солидныхъ людей свободно раскаживаютъ по платформѣ, то и дѣло натыкаясь на жандармовъ, квартальныхъ и городовыхъ. Всѣ эти люди пришли и пріѣхали встрѣчать поѣздъ. И въ этой встрѣчѣ есть двѣ цѣли: одни встрѣчаютъ родныхъ, знакомыхъ, друзей; другіе стараются поживиться насчетъ пріѣзжающихъ; не говоря объ извозчикахъ, въ вокзалѣ находится до сорока квартирныхъ хозяевъ, которые только тѣмъ и живутъ, что прямо съ желѣзной дороги берутъ къ себѣ на квартиру жильцовъ.

Но вотъ показался поѣздъ. Задрожала мостовая по линіи желѣзной дороги. Поѣздъ идетъ тише и тише, наконецъ онъ остановился. Весь народъ, бывшій въ вокзалахъ, рванулся на платформу, извозчики скучились на подъѣздѣ и передъ подъѣздомъ. Народъ сталъ выходить изъ вагоновъ, и Боже мой! сколько въ теченіе четверти часа вышло изъ нихъ народа, народа простого! И куда дѣнется весь этотъ простой народъ—мужики, бабы, дѣвки?.. Всѣ суетятся, разиня ротъ, разыскиваютъ своихъ товарищей по деревнямъ, свою родню, хватаютъ за руки или полы полушубковъ, кацавеекъ, поддевокъ... Слышатся восклицанія въ родѣ слѣдующихъ: «Митрей! а Митрей!.. Не видалъ ли, любезный, мою бабу?.. О чтобъ тебѣ околѣть! сказано—держись за меня! Держи крѣпче мѣшокъ-то: оборвутъ!» Каждый изъ пріѣхавшихъ простыхъ людей что-нибудь да имѣетъ при себѣ: кто котомку или попросту полушубокъ, обмотанный ремнемъ и надѣтый на спину, кто мѣшокъ, кто пилу, кто лотокъ и т. п. Но вотъ мало-по-малу платформа опустѣла, опустѣлъ и вокзалъ.

Около воротъ на панели стояла молодая женщина съ узломъ подъ лѣвой мышкой. По всему видно было, что она только что пріѣхала и не знаетъ, куда идти. Казалось также, что ее все удивляло: и большіе дома, построенные въ сплошную, съ вывѣсками сверху до низу, точно облѣпленные картинками, и тройки, и многолюдство, и крики торгашей подъ самымъ ухомъ, предлагавшихъ и спичекъ, и яблоковъ, и другихъ сластей... Она стояла разиня ротъ, ничего не понимая; голова ея кружилась.

— Прикажите отвезти-съ?—надоѣдали ей извозчики.

— Что стоишь-то? — крикнулъ на женщину городовой, должность котораго состояла въ томъ, чтобы стоять у воротъ Николаевской желѣзной дороги, и который, видя стоящую женщину съ узломъ, хотѣлъ развлечься.

Женщина очнулась и вдругъ спросила:

— А гдѣ у васъ тутъ Богъ-то?

— Не видишь что-ли! Ослѣпла.—И городовой показалъ ей на Знаменье.

Женщина, отличивши наконецъ церковь отъ большихъ домовъ, перекрестилась и поклонилась на церковь.

— Скажи, ради Христа, куда мнѣ идти?—спросила опять женщина городового.

Этотъ вопросъ немного озадачилъ городового, но онъ думалъ не долго.

— Всякой дряни въ столицу хочется!.. а дороги не знаетъ! Ты, поди, ѣхала съ кѣмъ-нибудь?

— Какъ же! Только не понравились они мнѣ... Укажи, ради Христа, я тебѣ гривну дамъ.

— Иди на постоялый.

— Да тутъ ко мнѣ приставали какіе-то фармазоны: мастеровые не мастеровые,—кто ихъ знаетъ. Такъ они просили съ меня тридцать копѣекъ въ сутки.

— Какъ зовутъ?

— Меня-то?

— Ну, да!—прикрикнулъ городовой.

— Пелагея Мокроносовна.

— Что за узелъ? Развяжи-ка?!

— Стану я для тебя развязывать!! Ишь, что выдумалъ!

— Ну, ну!! Въ полицію сведу. Извозчикъ?!—крикнулъ вдругъ городовой и потомъ прибавилъ:—узнаешь!

Пелагея струсила и стала развязывать узелъ. Въ узлѣ оказалось два сарафана, одно ситцевое платье и шерстяной платокъ. Пока она показывала и трясла свои вещи, народу вокругъ нея и городового собралось много. Народъ этотъ былъ большею частью простой, занятой, но останавливающійся тамъ, гдѣ собирается въ кучу человѣкъ десять.

Народъ говорилъ:

— Воровку поймали!

— Господи, какая молодая, и...

— Ну, ну, пошли! Чего не видали?—крикнулъ на народъ городовой. — Но народъ только попятился отъ городового.

Куча росла.

— Паспортъ?!—спросилъ вдругъ у Мокроносовой городовой.

— Ишь выдумалъ! Онъ у меня далеко... вотъ гдѣ.—И она указала на грудь.

— Доставай!

Мокроносова засунула руку за пазуху и съ большимъ усиліемъ достала платокъ, на которомъ было нарисовано сраженіе при Синопѣ. Развернувши платокъ, она подала городовому паспортъ. Городовой сталъ читать про себя, т. е. не поднимая губъ и не открывая рта. Нѣсколько головъ заглянули на паспортъ съ обѣихъ сторонъ головы городового.

Посмотрѣвши паспортъ и провѣривши его съ личностью Мокроносовой, городовой возвратилъ ей его, сказавъ: «ступай!»—и пошелъ прочь. Народъ тоже разбрелся въ разныя стороны.

«Что же это такое? что ему нужно было отъ меня? и что онъ за человѣкъ такой есть? Такой оказіи со мной еще нигдѣ не случалось!»—думала Пелагея Прохоровна.

А народъ идетъ и ѣдетъ по площади по разнымъ направленіямъ; трескъ, стукъ, крики сливаются въ одно; на домахъ пестрятъ вывѣски точно картинки; извозчики, видя стоящую съ узломъ женщину, то и дѣло предлагаютъ свои услуги прокатить ее по Питеру за полтинничекъ; прохожій народъ то и дѣло сталкиваетъ ее то съ панели, то въ лужи на панели. Голова закружилась у Пелагеи Прохоровны: все ей кажется ново, непонятно, удивительно. «Куда я пріѣхала? Много я городовъ видала... а здѣсь... Что же это такое?»

— Московскіе калачи хороши!—прокричалъ пожилой мужчина, неся на головѣ корзину, и, обратясь къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, сказалъ ласково:— не желаете ли купить?

И, не дожидаясь отвѣта, онъ снялъ съ головы корзинку и откинулъ клеенку. Въ корзинѣ оказались булочки французскія, русскія и польскія.

Пелагеѣ Прохоровнѣ хотѣлось ѣсть. «Отчего не купить и не попробовать питерскихъ булокъ», подумала она и стала разсматривать булочки.

— Какую желаете?.. эти московскія, эти французскія, это пеклеванный.

— Что это за пеклеванный?

— Мука такая есть. Господа его очень любятъ... Въ трактирахъ все тоже пеклеванный.

— Значитъ, питерской.

— Именно! И дешевле противъ этихъ, и сытнѣе будетъ.

Пелагея Прохоровна купила цѣлую булку и спросила у торгаша: «куда ей идти?» Тотъ, разспросивъ ее, откуда она и когда пріѣхала, указалъ путь.

— Вотъ теперь ты поверни налѣво, будетъ Лиговскій каналъ. Направо черезъ каналъ будетъ идти переулокъ, ты въ переулокъ не ходи, а иди прямо. Тутъ ты увидишь постоялый дворъ, только туда не ходи, потому тамъ извозчики живутъ, а иди дальше. Тамъ спросишъ: гдѣ, молъ, постоялый дворъ, что для пріѣзжающихъ съ машины...

— Покорно благодарю.

И Пелагея Прохоровна пошла. Дождь въ это время пересталъ идти. Когда она вошла по указанію налѣво въ улицу, картина представилась ей уже другая: дома попроще, мало красивыхъ вывѣсокъ, много питейныхъ заведеній; изъ дворовъ несетъ чѣмъ-то нехорошимъ; мало идетъ и ѣдетъ народа. Но главное, что ее заняло,—это Лиговскій каналъ посреди улицы съ мутною, вонючею водою и огороженный деревянными перилами. Здѣсь было много грязи, проходъ черезъ каналъ—узенькій, деревянный мостикъ. Налѣво деревянные тротуары съ провалившимися досками, а кое-гдѣ просто канава. Пелагея Прохоровна поглядѣла на канаву. Она забыла слово каналъ, потому что не понимала его, и поэтому думала, что это рѣка. Но какая же это рѣка: изъ нея такъ и несетъ чѣмъ-то нехорошимъ, и узенькая она, и вода въ ней должно быть стоитъ,— ни судовъ, ни лодокъ нѣтъ на ней.

«Этотъ калашникъ надулъ меня: потому какой это Питеръ?»

Она оглянулась назадъ. Тамъ дома какъ на картинкахъ писано—красивые... Инъ, тамъ какъ трещитъ и гудетъ... И она пошла назадъ туда, гдѣ трещитъ и гудетъ. Навстрѣчу ей шелъ мужчина, держа подъ мышкой фунта два чернаго хлѣба, а въ правой рукѣ—булку и печенку, которыя онъ откусывалъ понемножку. Онъ былъ уже выпивши и шелъ неровно. Одѣтъ онъ былъ въ оборванный полушубокъ, синіе изгребные штаны, въ лапти и мѣховую рваную во многихъ мѣстахъ шапку, промокшую до того, что съ нея и теперь изрѣдка капали на лицо капли, которыя, протекая по лицу до бороды, оставляли на той или на другой щекѣ черныя полоски. Онъ прошелъ мимо Пелагеи Прохоровны молча, даже посторонился отъ нея.

«Это изъ нашихъ! Непремѣнно. Бурлаки у насъ такъ-то ходятъ», подумала Пелагея Прохоровна и пошла за нимъ. Немного погодя, она догнала этого человѣка.

— Дядюшка!—сказала она, ставъ съ нимъ нога въ ногу.

— Что? — сказалъ онъ охриплымъ голосомъ, глянулъ на нее и потомъ, мотнулъ головой, сталъ глядѣть на мостовую.

— Питеръ ли это?

— Знамо, Питеръ.

— Гдѣ бы мнѣ остановиться?..

— Остановиться?... Извѣстно, гдѣ люди останавливаются...—Онъ глянулъ на нее и опять сталъ глядѣть на мостовую.

— Укажи ты мнѣ дорогу.

— И укажу! Провалиться...

— Да ты мнѣ скажи, куда идти-то?

— Куда идти?! Пойдемъ къ Артемьевнѣ... Я у ней живу.

— А есть ли тамъ бабы?

— Какъ не быть бабамъ... А ты братъ... Кабы мнѣ такую бабу!

— Пустое говоришь. Ты доведи до мѣста.—Они пошли.

— Развѣ я песъ?.. Нѣтъ, у меня душа христіанская... Я къ слову: потому у меня жена въ деревнѣ. Да какая она теперь жена мнѣ?

И крестьянинъ остановился.

— Почему теперь я въ Питерѣ?—спросилъ онъ сердито.—Лицо его подернуло, брови сдвинулись.

— Всѣ вы таковы. У васъ все только жены виноваты.

Крестьянинъ махнулъ рукой и изъ руки выпалъ недоѣденный кусокъ булки, который и попалъ въ лужу. Крестьянинъ взялъ его, обтеръ грязь полушубкомъ, поскоблилъ пальцемъ и откусилъ. «И здѣсь тоже, видно, хорошъ народецъ», подумала Пелагея Прохоровна. — Крестьянинъ вошелъ во дворъ одного изъ деревянныхъ домовъ.

Пяти-оконный деревянный домъ, обшитый тесомъ, съ питейнымъ заведеніемъ, принадлежалъ, какъ гласила голубая дощечка надъ воротами, купчихѣ Ѳокиной. Онъ стоялъ особнякомъ отъ другихъ домовъ, потому что съ одной стороны находился дровяной дворъ съ возвышающимися около самаго забора и заслоняющими съ одной стороны свѣтъ къ дому рядами еще не распиленнаго на дрова лѣса, съ другой же стороны находилось пустопо-

рожнее мѣсто, на которомъ впрочемъ купчиха Ѳокина лѣтомъ садила капусту и картофель. Какъ передъ домомъ Ѳокиной, закоренѣлой старовѣрки, такъ и передъ дровянымъ дворомъ и пустопорожнимъ мѣстомъ вмѣсто тротуара существовала канава, которая впрочемъ только отчасти походила на канаву, но зато къ каждымъ воротамъ были сдѣланы деревянные мостки. Въ настоящее время въ дождливую погоду около низенькихъ оконъ дома нельзя было вовсе ходить, хотя грязи было и не очень-то много, но почва была такая, что ноги скользили. Несмотря на то, что наши старовѣры чистоту любятъ, дворъ купчихи Ѳокиной не оправдывалъ этой славы: онъ былъ очень грязенъ и вонючъ до того, что въ немъ пахло какъ изъ бочки съ протухлой рыбой или говядиной. Впрочемъ это объясняется можетъ быть тѣмъ, что Ѳокина сама въ домѣ не жила, а пріѣзжала въ него только изрѣдка. Кромѣ дома во дворѣ былъ флигель съ двумя окнами по бокамъ и дверью въ серединѣ, выходящими къ воротамъ.

Помѣщеніе въ этомъ флигелѣ тоже не отличалось изяществомъ; войдя въ дверь, даже простой человѣкъ могъ замѣтить, что внутренность его устроена съ разсчетомъ. А именно: большая изба съ двумя окнами, одно—недалеко отъ двери къ выходу, другое—налѣво. Но съ перваго раза нельзя отличить: изба ли это, или горница, во-первыхъ потому, что въ ней не было палатей; во-вторыхъ, направо въ углу на заднемъ планѣ стоитъ чугунка и отъ нея проведена черезъ все помѣщеніе желѣзная труба, идущая надъ дверьми направо въ помѣщеніе хозяйки; и въ-третьихъ, въ этомъ помѣщеніи нѣтъ ни наръ, ни скамеекъ, ни стола, ни стула. Прокоптѣлыя сырыя стѣны, когда-то оклеенныя желтыми обоями, которые въ иныхъ мѣстахъ уже отпотѣли и отпали, а во многихъ мѣстахъ висятъ клочками; грязный, никогда не моющійся полъ; въ углу маленькій образокъ, который съ перваго раза трудно замѣтить; сѣрый потолокъ съ дранками крестъ-на-крестъ и штукатурные карнизы, сырой табачный и иной непріятный воздухъ—вотъ и все въ этомъ помѣщеніи, которое содержательница флигеля, солдатская вдова Софья Артемьевна, называла постоялою избою. Такъ и намъ слѣдуетъ называть это помѣщеніе.

Когда Пелагея Прохоровна вошла въ эту избу, она замѣтила, что нѣсколько мужчинъ въ поддевкахъ, зипунахъ, а болѣе въ полушубкахъ, различныхъ лѣтъ, высокіе и низкіе, сидѣли на полу около стѣнъ, точно собирались пѣть «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ». Такое предположеніе впрочемъ въ настоящій моментъ было невѣрно, потому что они говорили почти всѣ разомъ, передавая глиняныя и деревянныя трубки съ коротенькими чубуками сосѣдямъ. Подалѣе отъ двери лежало четверо крестьянъ во всемъ какъ есть, подложивши подъ головы свои узелки; въ переднемъ и противоположномъ ему углахъ лежало нѣсколько котомокъ. Тутъ же можно было замѣтить кирку, пилу, лотокъ. Изъ хозяйской комнаты слышались крики женщинъ.

— Ерполаю Евстигнѣеву!—крикнуло нѣсколько голосовъ вошедшему крестьянину.—Нѣсколько человѣкъ слегка приподняли шапки. Пелагея Прохоровна ушла въ хозяйскую половину.

— Ну, какъ дѣла?

— Нашелъ ли мѣсто?

— И не спрашивайте!.. Народу нонича страсть. На Сѣнной-то насъ собравши, почитай, было ста два. Дождемъ такъ и мочитъ. Ну, стояли, стояли, топтались, топтались,—хоть бы кто!!

— Нѣтъ?!

— Провалиться!

— Надо по заводамъ походить.

— Да что на заводахъ-то дѣлать? На фабрикахъ другое дѣло.

— На суда бы.

— То-то, братцы; тамъ все стояли, кои на суда... Вотъ въ маляры да въ каменьщики спрашивали. А такихъ, чтобы на суда,—не было. Народъ галдитъ: чать поздно! Пошли къ рѣкамъ—въ полной препорціи! Судовъ страсть и народу страсть.

— Мы тоже по рѣкамъ-ту ходили—народу въ препорціи. Надо рядиться песокъ плавить или хоша камень.

— Вре?!

— Семьдесятъ пять надыть просить. Мы въ прошлое лѣто съ дядей Митріемъ ходили въ Питеръ, такъ у него деньги были, онъ и купилъ лодку—семьдесятъ пять выложилъ да нанялъ четырехъ работниковъ: такъ онъ еще въ барышахъ остался и лодку имѣетъ. Только померъ теперь.

— А лодка?

— Что лодка? я ходилъ къ тому мѣсту, гдѣ мы ее подъ караулъ оставили, караульщикъ и не даетъ: «дай—говоритъ—такую бумагу, что лодка тебѣ предоставлена и плыви, говоритъ, съ ней по Невѣ». А у меня бумаги нѣтъ. Ночевалъ я тамъ, а утромъ ужъ лодки и нѣтъ. Ну, что подѣлаешь?

— Ничего не подѣлаешь. Извѣстно, простота не доводитъ до добра.

Помѣщеніе хозяйки—кухня и комната, какъ хотите называйте его, было уже мужского, которое отдѣлялось отъ него перегородкой до потолка и имѣло изразцовую печь, похожую на русскую. Все пространство, вровень съ печкой, было занавѣшено ситцевой драной зановѣской, сквозь которую виднѣлись кровать и комодъ. Въ переднемъ углу стоялъ столъ со шкафомъ; на столѣ красовался самоваръ, не чищенный болѣе мѣсяца; по обѣимъ сторонамъ стола стояли три стула съ рѣшетками. Надъ столомъ въ углу укрѣплено три образа въ фольговыхъ украшеніяхъ, которыя отъ времени и отъ копоти уже отлиняли. Стѣны оклеены голубыми обоями, которые хотя и прокоптѣли, но еще цѣлы. На стѣнѣ, противоположной дверямъ, висятъ небольшое зеркальцо и двѣ картинки, изъ которыхъ одна изображаетъ дѣвочку, держащую въ рукахъ книгу, а другая — нѣмца, отправляющагося на охоту съ ружьемъ и двумя собаками. Потолокъ здѣсь выштукатуренъ, полъ чистый.

Въ то время, какъ въ это помѣщеніе вошла Пелагея Прохоровна, шесть женщинъ въ коротенькихъ

шугайчикахъ и полушубкахъ, въ сарафанахъ и въ платкахъ на головахъ, отъ 18 до 45 лѣтъ, сидѣли на своихъ узелкахъ въ рядъ на полу, у стѣны, закусывая кто хлѣбомъ чернымъ, кто бѣлымъ хлѣбомъ съ соленымъ огурцомъ и селедкою. Тутъ же была и хозяйка, низенькая, толстенькая женщина, съ распухшимъ краснымъ лицомъ, съ широкимъ ртомъ, съ подбородкомъ, заплывшимъ до того, что съ перваго взгляда казалось, нѣтъ ли у нея тутъ грыжи, съ толстымъ краснымъ носомъ, свидѣтельствующимъ, что она въ день употребляетъ не малое количество водки, съ маленькими карими глазами, то и дѣло перебѣгающими съ одной женщины на другую и успѣвающими заглянуть въ мужское помѣщеніе. Одѣта она была, въ это послѣобѣденное время, въ старенькую черную терновую юбку, которую жильцы называли платьемъ, потому что она носила еще такую же черную кофточку съ широкими, немного поменьше поповскихъ, рукавами. Въ ушахъ ея сережекъ не было; но на лѣвой рукѣ, на указательномъ пальцѣ находилось постоянно кольцо польскаго серебра — знакъ ея вдовства.

Пелагея Прохоровна помолилась на образа и поклонилась хозяйкѣ и женщинамъ, которыя, при входѣ ея въ комнату, замолчали.

— Что тебѣ?—спросила хозяйка охрипшимъ голосомъ, наливая въ чашку кофе.

— Пусти на квартиру.

— Тѣсно!—отвѣтила хозяйка и принялась пить кофе, не спуская глазъ съ Пелагеи Прохоровны.

Пелагея Прохоровна ступила шагъ впередъ и оглядѣла женщинъ. Женщины все незнакомыя: въ томъ вагонѣ, въ которомъ она ѣхала,—этихъ не было. «И куда это народъ дѣлся? Сколько ѣхало бабъ однѣхъ, а здѣсь ни одной нѣтъ», подумала она, и обратилась снова къ хозяйкѣ:

— Скажи, пожалуйста, хозяюшка, Питеръ ли это?

Хозяйка засмѣялась, разлила кофе и закашлялась такъ, что принуждена была выйти вонъ на дворъ; женщины захохотали: щеки Пелагеи Прохоровны покраснѣли. Оглушенная дружнымъ хохотомъ всѣхъ женщинъ, Пелагея Прохоровна ничего не нашлась сказать. Она чувствовала, что ея щеки горятъ. «Нѣтъ, это не Питеръ»... подумала она и взглянула на женщинъ: женщины шепчутъ и хохочутъ. «Экія гадкія!»—подумала Пелагея Прохоровна, и пошла было къ двери, но ее ухватила одна женщина за сарафанъ.

— Ты куда пріѣхала-то?—спросила она Пелагею Прохоровну, закрывая ротъ рукою, чтобы не хохотать. Нарѣчіе у этой женщины было тверское.

— Знамо куда: въ Питеръ везли на чугункѣ,—сказала сердито Пелагея Прохоровна.

— А замѣсто Питера ты куда попала?

— Къ чертямъ!—крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины снова дружно захохотали. Пелагея Прохоровна вышла во дворъ и столкнулась съ хозяйкой.

— О, чтобъ тебѣ!.. Чуть-чуть изъ-за тебя не подавилась!—крикнула хозяйка на весь дворъ.

— Ты это куда пошла-то?—крикнула она снова, увидавъ, что Пелагея Прохоровна идетъ съ узломъ къ воротамъ.

— Ужъ я въ другое мѣсто.

— Въ другое? Да ты заплатила ли мнѣ за постой-то?—И хозяйка подошла къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— За какой?

— А вотъ за какой!—И она толкнула Пелагею Прохоровну къ флигелю.

Въ это время изъ дому въ оба окна смотрѣлъ народъ— въ одно мужчины, въ другое—женщины.

— Да ты что дерешься-то въ самомъ-дѣлѣ?—крикнула Пелагея Прохоровна и замахнулась, но хозяйка успѣла отвернуться.

— Хошь, я городового позову?

— Зови хошь чорта!—Пелагея Прохоровна пошла.

— Послушай, бѣлоручка? куда ты пойдешо-то?—сказала хозяйка ласково.

— Куда-нибудь... Только съ такой драчуньей и съ такими зубоскалами я ни за что не останусь.

— Ладно...

Пелагея Прохоровна вышла за ворота и задумалась: куда ей идти, направо или налѣво. Въ это время изъ кабака вышелъ молодой, здоровый кабатчикъ съ длинными, гладко причесанными волосами, съ небольшими усиками, закрученными кверху, въ ситцевой бѣлой рубашкѣ, въ жилеткѣ, въ драповыхъ брюкахъ и въ бѣломъ холщевомъ фартукѣ.

— Дура ты, дура оголтѣлая! Ты должна спросить добрыхъ людей, гдѣ можно пристанище имѣть. Ты посмотри, все ли у тебя цѣло въ узлу-то!—проговорилъ онъ скороговоркой, обращаясь къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, и Пелагея Прохоровна подумала, что и въ Питерѣ есть добрые люди.

— Ну, что ты стоишь-то? Ты посмотри: все ли цѣло въ узлу-то.

— Да я его все въ рукахъ держала.

— Должно быть ты еще не знакома съ Питерскими мазуриками?

На улицу изъ двора вылетѣла хозяйка Артемьевна и, остановившись около самаго крыльца передъ кабатчикомъ, плюнула ему въ лицо, и съ яростью проговорила:

— Подлый ты человѣкъ! Мазурикъ! Кто воровскія вещи принимаетъ?

— Ты сперва уличи... У кого, какъ не у тебя, по ночамъ обыски дѣлаютъ? Слушай, баба: иди наискосокъ: тамъ ты будешь спокойнѣе,—проговорилъ кабатчикъ, обращаясь къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, и потомъ ушелъ въ кабакъ.

Артемьевна рванулась было въ кабакъ, но кабатчикъ толкнулъ ее съ крыльца, проговоривъ съ достоинствомъ, приличнымъ хозяину питейнаго заведенія:

— Куда?! Ты сперва въ баню сходи, потомъ лѣзь ко мнѣ.

Ярость Артемьевны была велика. Она нѣсколько минутъ топталась передъ крыльцомъ кабака, ворча какъ собака, не могущая изловить кошку, забрав-

шуюся на крышу послѣ большой царапины, которою та угостила собаку.

Пелагея Прохоровна не стала дожидаться конца этой сцены. Она была рада, что избавилась отъ такой хозяйки, у которой въ самомъ дѣлѣ можетъ быть случаются нехорошія вещи. Ее еще все удивляло: отчего это здѣсь и дома дрянные, и народу мало, и народъ какой-то нехорошій, точь-въ-точь какъ въ какомъ-нибудь уѣздномъ городишкѣ. А ей дорогой говорили, Питеръ—отличный городъ, что въ немъ и грязи никогда нѣтъ, и народъ вѣжливый... И все оказалось напротивъ. Даже и народъ, простой народъ, говоритъ какъ-то иначе, непонятно. Тутъ и толку никакого не добьешься... Знала бы,—не поѣхала бы такую даль! Ужъ если начинъ такой, то и жизнь здѣсь, поди, худая... Хорошо, видно, тамъ, гдѣ насъ нѣтъ!..

Однако ужъ дѣло сдѣлано, денегъ много истрачено на дорогу и въ дорогѣ, и теперь у Пелагеи Прохоровны денегъ только пятьдесятъ семь копѣекъ. Съ такими мыслями Пелагея Прохоровна подошла къ каменному двухъ-этажному дому въ пять оконъ съ подъѣздомъ въ серединѣ и съ двумя лавками въ подвалѣ, изъ коихъ въ одной продавался хлѣбъ, овощи и другіе съѣстные припасы, а съ другой—водка. Пелагея Прохоровна поглядѣла кругомъ—чуть не въ каждомъ домѣ красуются на дверяхъ вывѣски со словами «распивочно и на выносъ».

«Вотъ гдѣ пьяное-то царство!» подумала Пелагея Прохоровна и вошла во дворъ. Дворъ большой, грязный, вонючій: здѣсь пахло еще хуже двора купчихи Ѳокиной. Но зато здѣсь нѣсколько извозчичьихъ колодъ опрокинутыхъ, изломанныхъ; на заднемъ планѣ построены давнымъ-давно какія-то клѣтушки съ запертыми на замки дверями. Налѣво противъ каменнаго дома выходилъ деревянный флигель съ пятью окнами на улицу, двумя во дворъ и съ крыльцомъ. Войдя въ темныя сѣни, Пелагея Прохоровна услыхала говоръ нѣсколькихъ голосовъ мужскихъ и женскихъ. Постучалась налѣво—никто не отпираетъ, но за звонокъ она не взялась: она еще не понимала этой мудрости.

— Тебѣ кого?—спросила ее вышедшая изъ правыхъ дверей худощавая, высокая пожилая женщина.

— Да на постоялый.

— Разѣ тутъ постоялый? — проговорила эта женщина сердито.

— Можно туда идти-то? спросила смиренно Пелагея Прохоровна.

— На то и постоялый, чтобы народъ шелъ... Я сичасъ приду.

Женщина позвонила, и когда ей отворили дверь налѣво, она вошла туда. Большая комната съ двумя окнами противъ двери и съ неоклеенными стѣнами; двое широкихъ наръ по правую и по лѣвую сторону съ проходомъ между ними, имѣющимъ видъ площадки; въ углу большая круглая печь, обитая желѣзомъ сверху до низу; далѣе, дверь въ темную комнату съ русскою печью, вѣроятно кухню—вотъ постоялая изба, куда вошла Пелагея Прохоровна. На обѣихъ нарахъ сидѣли въ разныхъ позахъ и лежали—направо мужчины, налѣво женщины. Мужчинъ было человѣкъ двадцать, женщинъ до десятка; какъ тѣ, такъ и другія говорили, и поэтому въ избѣ говоръ происходилъ неописанный, такъ что сразу нельзя было понять, въ чемъ дѣло, или о чемъ люди толкуютъ. Но хотя здѣсь были нары, и на полу лежать не приводилось, зато табачный дымъ заставлялъ кашлять, и, несмотря на то, что въ избѣ было два окна, въ ней отъ дыму было темно.

— Экъ ихъ, какъ накурили, словно въ казармѣ!—сказала Пелагея Прохоровна и закашлялась; потомъ, отмахивая правою рукою дымъ, подошла къ женщинамъ.

— А! сусѣдка... А я тебя искала, искала... Ну, полѣзай!—проговорила радостно одна молодая женщина съ веснушками на лицѣ, въ розовомъ шугайчикѣ и ситцевомъ платкѣ на головѣ; она подвинулась.

— Куда?! И такъ тѣсно.

— Пусть на мужское отдѣленье идетъ,—проговорили двѣ женщины.

— Со мной въ одномъ вагонѣ ѣхала.

— Мало что!..

— Бога вы не боитесь. Полѣзай!!

Пелагея Прохоровна присѣла къ женщинѣ, но та уговорила ее залѣзть на средину наръ для того, чтобы *устроиться*—«потому де, можетъ еще съ машины народъ найдетъ»—и тогда пожалуй придется подъ нары лѣзть. Пелагея Прохоровна замѣтила, что шесть женщинъ сидятъ у самой стѣны на своихъ узелкахъ, увидѣла свободное мѣсто, полѣзла и тоже сѣла на свой узелокъ. Пришла хозяйка, Марья Ивановна, — та самая высокая, худощавая женщина, которая встрѣтила ее въ сѣняхъ.

— А гдѣ тутъ новая?—спросила она, прищурила глаза и стала разглядывать и считать женщинъ.

— Здѣсь!—Пелагея Прохоровна встала.

— А!! Ловко ли?

— Ничего. Я вонъ тутъ наискось была, такъ тамъ на полу...

— Нѣ-ѣтъ?!—произнесли нѣсколько разъ женщины, удивляясь.—Это ужъ такая женщина! Она бы и не имѣла жильцовъ, потому что же за сидѣнье или за спанье на полу, да ейной любовникъ на машину ходитъ и оттуда народъ заманиваетъ... Ну, баба, надо съ тебя за квартиру три копеечки. Здѣсь въ Питерѣ сами жильцы знаютъ, что деньги нужно вносить впередъ.

— Сколько же?—спросила Пелагея Прохоровна.

— Да ужъ мы со всякаго беремъ по положенью три копейки. Ночуешь—ладно, не ночуешь—деньги не возвращаются, было бы тебѣ извѣстно. Потому я женщина бѣдная, за квартиру-то двадцать рубликовъ въ мѣсяцъ!

— Что ты?—удивились женщины.

— Что дѣлать!

Пелагея Прохоровна отдала три копейки.

Хозяйка положила монету въ карманъ своего ситцеваго платья и посовѣтовала Пелагеѣ Прохоровнѣ имѣть на всякій случай поближе паспортъ.

— Потому ночью, можетъ, полиція придетъ, она часто по ночамъ шляется, воровъ да бѣглыхъ разыскиваетъ. Прежде Богъ миловалъ, спокойно было на этотъ счетъ, да чортъ подсунулъ къ намъ въ сосѣди эту Артемьевну. Разъ у ней бѣглаго изъ тюрьмы нашли—ну, стали и къ намъ заходить съ тѣхъ поръ.

— Да вѣдь она почемъ знала, что онъ бѣглый?

— А отчего она паспорта не спросила?.. Теперь тоже у нихъ съ кабатчикомъ постоянно ругань; она своимъ мужикамъ говоритъ: «не берите у нашего кабатчика водку, потому-де нехорошая та водка, съ дурманомъ»; ну, а мужика долго ли застращать, они и идутъ въ другой кабакъ, а онъ за это отгоняетъ отъ нея жильцовъ: она-де воровка, у нея постоянно по ночамъ обыски дѣлаютъ.

Пелагея Прохоровна стала ѣсть пеклеванный хлѣбъ. Пожевавши немного, она выплюнула на ладонь, посмотрѣла и понюхала хлѣбъ.

— Бабы! Какой это я хлѣбъ купила?—проговорила онъ, съ удивленіемъ смотря на женщинъ и часто отплевываясь.

— Ну-ко?

Пелагея Прохоровна передала хлѣбъ одной женщинѣ. Хлѣбъ пошелъ гулять по нарѣ. Однѣ изъ женщинъ находили этотъ хлѣбъ хорошимъ, другія — никуда негоднымъ и спрашивали:

— Гдѣ купила?

— Какой-то булочникъ продалъ тамъ недалеко отъ машины. Онъ еще говорилъ:—господской, говоритъ, самый питерскій.

— Ну-ко?

Опять пошелъ хлѣбъ гулять, и прогулялъ до того, что мало-по-малу отъ него остался маленькій кусочекъ.

— Какъ вамъ, бабы, не стыдно!—сказала Пелагея Прохоровна, получивъ кусочекъ.

— Нехорошій хлѣбъ! напрасно только деньги истратила.

— Нѣтъ, хлѣбъ ничего; кабы анису поменьше, еще бы лучше былъ!—говорили женщины.

— Однако, бабы, не мѣшало бы похлебать чего-нибудь.

— Я вотъ цѣльную недѣлю ничего горячаго въ ротъ не брала.

— Марья Ивановна, нѣтъ ли чего похлебать?

— Нѣту. Сама двои сутки ничего для себя не варила. Кофеемъ питаюсь.

— А гдѣ бы эдакъ похлебать?

— Не знаю... Ужъ вѣрно до тѣхъ поръ не придется, какъ на мѣста поступите.

— Экое дѣло!.. А ты, Прохоровна, непремѣнно сведи насъ туда, гдѣ принимаютъ на мѣста,—сказала одна молодая, худенькая, низенькая женщина лежащей на животѣ въ углу длинной женщинѣ, ноги которой уходили подъ столъ. Эта длинная женщина повернула отъ стѣны лицо молодое, но желтое, и проговорила:

— Охъ, не могу! Животъ такъ и колетъ.

— Ты бы клубокъ подложила.

— Охъ, клала коробочку,—не дѣйствуетъ.

— И съ чего это заболѣлъ-то?!

— Должно быть, съ селедки: такая нехорошая попалась.

— Бабы! хоть бы капусты похлебать. Марья Ивановна, одолжи чашки и ложки. Мы заплатимъ.

Хозяйка заворчала, но все-таки сжалилась надъ бѣдными женщинами, дала имъ бутылку подъ квасъ, большую деревянную чашку и пять ложекъ деревянныхъ, сказавъ при этомъ: «смотрите! не изломайте». По полученіи этихъ вещей, женщины учинили складчину и командировали одну изъ своей среды за капустой, квасомъ и солеными огурцами.

Надо замѣтить, что изъ числа этихъ одиннадцати женщинъ, только одна бывала въ Петербургѣ, а именно та, которая всѣхъ длиннѣе и лежала на животѣ въ углу. Дарья Прохоровна своей фамиліи не знала и въ ея паспортѣ значилось: крестьянка Дарья Прохорова, замужняя, а въ паспортѣ ея мужа значилось: крестьянинъ Кононъ Дорофѣевъ, женатый. Дарья Прохоровна жила въ Петербургѣ два года, но въ это время ей Петербургъ такъ опротивѣлъ, что она воротилась въ деревню. Въ деревнѣ она прожила года два и вышла замужъ за молодого крестьянина, у котораго былъ въ домѣ хромой отецъ и сестра вдова съ ребятишками. Этотъ молодой крестьянинъ съ другими крестьянами на лѣто уходитъ на заработки въ Петербургъ. Такъ онъ и нынче ушелъ еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а въ концѣ мая жена получила письмо, что ея мужъ въ больницѣ. Дарья Прохоровна испугалась, оставила своего шестимѣсячнаго ребенка и маленькихъ сестренокъ на попеченіе золовки и поѣхала въ Питеръ. Мужа она нашла въ больницѣ; онъ только-что началъ поправляться. Поэтому она рѣшилась не уѣзжать изъ Питера до тѣхъ поръ, пока не выздоровѣетъ мужъ. Но вотъ она вчера цѣлый день ходила по старымъ мѣстамъ, спрашивала лавочниковъ объ мѣстахъ, но утѣшительнаго мало; сегодня ходила въ Никольскій рынокъ—тоже неудачно. Остальныя, какъ и Пелагея Прохоровна, пріѣхали въ Петербургъ въ первый разъ вчера и сегодня. Двѣ пріѣхали съ мужьями (тоже въ первый разъ) изъ Тверской губерніи. Мужья хотятъ торговать чѣмъ-нибудь, и съ ними три сестры, которымъ на родинѣ дѣлать нечего, такъ какъ на кирпичномъ заводѣ, гдѣ онѣ раньше работали, теперь работы стало очень мало. Остальныя двѣ дѣвушки—одна изъ Новгородской, а другая изъ Витебской губерніи; сестры этихъ дѣвушекъ живутъ тоже въ Петербургѣ, а онѣ раньше работали на фабрикахъ и жили въ городахъ. Двѣ женщины, одна изъ Калужской, а другая изъ Костромской губерніи, были солдатскія жены, но мужья ихъ писали имъ рѣдко откуда-то издалека, и онѣ жили въ губернскихъ городахъ, а потомъ вздумали попытать счастья въ Петербургѣ.

Мужчины такъ накурили махоркой, что у женщинъ начали разбаливаться головы, и онѣ стали жаловаться другъ дружкѣ на головную боль, но ни одна не понимала причины. Наконецъ кашель сталъ душить всѣхъ женщинъ. У Пелагеи Прохоровны тоже разболѣлась голова, и она закрыла платкомъ ротъ.

— Ты что закрываешься-то?—спросила ее сосѣдка.

— Смотри, что дыму-то отъ табачища... Отъ него, знать-то, и голова болитъ! Имъ что: они напьются водки и курятъ!

Женщинамъ этого было достаточно: онѣ поняли причину головной боли. Къ тому же рѣдкій изъ мужчинъ не былъ выпивши. Онѣ закричали на мужчинъ, но тѣхъ унять было трудно.

— Мы здѣсь сами себѣ господа! денежки за фатеру наровнѣ платимъ.

— Можно, я думаю, и на улицѣ курить.

— Не замай! И такъ дома-то жены намъ всѣ уши прожужжали. Здѣсь-то намъ и повальготнѣе.

— Мы вамъ не мѣшаемъ,—сидите, курицы, на яицахъ.

— Что съ ними, съ дураками, говорить.—И, сказавши это, одна женщина отворила дверь. Дымъ немного вышелъ, но противъ такого самоуправства возстала Марья Ивановна.

— Кто вамъ приказалъ дверь отпирать? У меня тамъ благородные люди живутъ.

— Что намъ коптѣть тутъ? Отчего у те окна не отпираются и отдушинъ нѣтъ?

— Идите на улицу, теперь лѣто.

— Ну, и Питеръ!—замѣтила съ сердцемъ Пелагея Прохоровна, не зная, что и какъ возразить хозяйкѣ.

Стали хлебать капусту съ квасомъ. Квасъ и капуста оказались нехорошими, огурцы гнилые; но на тощіе желудки и это было слава Богу. Мужчины то уходили, то приходили. Были тутъ и посѣтители, которые говорили, что въ Питерѣ житье годъ отъ году хуже и разсказывали о своихъ дѣлахъ. Женщины, особенно Пелагея Прохоровна, вслушивались въ эти разговоры. Разговоры были до того невеселые, что не одна женщина призадумалась надъ тѣмъ: что-то съ ней будетъ! не худо ли она сдѣлала, что поѣхала въ Петербургъ, который ей тамъ въ глуши казался прекраснымъ мѣстомъ, въ которомъ, какъ она слышала, умирать не надо. И зачѣмъ эти самые крестьяне, жившіе въ Петербургѣ, испытавшіе жизнь петербургскую, обманывали ихъ?

— Не врутъ ли они?—спросила Пелагея Прохоровна сосѣдку.

— Кто ихъ знаетъ! Только что же имъ врать-то... А не погуляемъ ли по Питеру?

— Нѣтъ. Еще заблудишься.

Послѣ скудной трапезы женщины сидѣли немного. Онѣ легли и лежа слушали толки мужчинъ. Однако сонъ бралъ свое, и Пелагея Прохоровна уснула. Когда она проснулась, было темно. Мужчины галдѣли, а двое пѣли.

Ахъ, московская дорожка,
Шириною два аршина
По ней бѣгаетъ машина—
Настоящій соловей!
Не качаетъ, не трясетъ—
Словно вихоремъ несетъ...

Но Пелагею Прохоровну не интересовала эта пѣсня, у нея болѣлъ животъ. Сосѣдки охаютъ. Долго крѣпилась Пелагея Прохоровна и тоже заохала.

— Что, животъ! Это съ капусты да съ огурцовъ,—проговорила сосѣдка.

— Что и ѣсть-то мы будемъ! съ рыбы животъ болитъ, съ капусты тоже! — проговорила другая сосѣдка.

— Да будь онъ проклятъ этотъ Питеръ!.. Хоть бы водки выпить съ перцемъ! — сказала Пелагея Прохоровна.

Она не могла уснуть до утра. Утромъ пошла она въ заведеніе—заперто. Былъ какой-то праздникъ, и водки нельзя было достать до окончанія обѣдни. Пелагея Прохоровна захворала.

XXIII.

Мужчины и женщины рано разбрелись по Питеру изъ избы Марьи Ивановны. Женщины, въ томъ числѣ и оправившаяся Дарья Прохоровна, пошли на Никольскій рынокъ продаваться,—какъ онѣ выразили Пелагеѣ Прохоровнѣ свое желаніе наняться въ работы. Съ собой онѣ захватили и узелки. Мужчины тоже, захвативши свои котомки, мѣшки и инструменты, у кого какіе были, пошли на Сѣнную наниматься. Изба опустѣла; въ ней не было ни одного узелка, и только соръ, хлѣбныя и огуречныя корки и табачный дымъ давали знать вновь вошедшему жильцу, если бы такой появился, что здѣсь Русью пахнетъ. Пелагея Прохоровна осталась одна, потому что и хозяйка куда-то ушла, затворивъ двери въ сѣняхъ на замокъ. Невыносимо скучно сдѣлалось Пелагеѣ Прохоровнѣ; много она передумала въ отсутствіе хозяйки, длившееся часа два. Она думала и о томъ, что-то съ нею дальше будетъ, и о томъ, что гдѣ она ни жила — вездѣ было плохо. Изъ видѣннаго ею во многихъ городахъ и даже здѣсь, въ Петербургѣ, она смутно понимала, что едва ли есть гдѣ на землѣ такой уголокъ, гдѣ бы хорошо и веселе жилось. Но отчего это? Кто въ этомъ виноватъ? Она было подумала, что виноваты мужики тѣмъ, что пьянствуютъ и не берегутъ деньги, но въ жизни она видѣла совсѣмъ не то: она, трезвая женщина, начинала мало-по-малу приходить къ тому заключенію, что пьянство происходитъ не отъ баловства, а совсѣмъ отъ другой причины. Ея отецъ всегда пилъ по недѣлѣ послѣ того какъ его наказывали розгами. Ея мужъ пилъ всегда послѣ ссоры съ начальствомъ. Въ вагонахъ мужики ѣхали трезвые—отчего же они въ столицѣ напились всѣ до-пьяна? И тутъ есть какая-нибудь причина. Какая же причина—Пелагея Прохоровна доискиваться не стала, потому что мысли ея приняли другой оборотъ. Ее теперь не удивляла ни грязь, ни вонь петербургскихъ улицъ, ни Артемьевна, ни эта Марьи Ивановны постоялая изба; ее удивило то, какъ это бабы пошли на рынокъ продаваться? Правда, онѣ объяснили ей вскользь смыслъ этого слова, но зачѣмъ же именно продаваться когда человѣкъ пришелъ въ Питеръ для того, чтобы нажить деньги? Нѣтъ ли въ этомъ словѣ нехорошаго чего-нибудь? Ахъ, какъ ей самой хотѣлось поскорѣй побывать на этомъ рынкѣ и узнать доподлинно суть дѣла. Да и неужели иначе нельзя найти работу?

Пелагея Прохоровна присѣла. Животъ болитъ;

въ избѣ душно. Солнце ярко освѣщаетъ дворъ. «Тутъ совсѣмъ околѣешь! Нѣтъ, не утерплю я: пойду какъ-нибудь на этотъ рынокъ».

Вошла хозяйка.

— Ну что, бѣлоручка?

— Охъ, не могу!

— Вижу я, ты очень нѣжнаго воспитанія. Вонъ у бабъ тоже животы болѣли, да онѣ пошли продаваться.

— Пойду и я. Далеко рынокъ-то этотъ?

— Ты бы еще до вечера пролежала: гляди, гдѣ солнце-то! А до рынка-то, пожалуй, часа полтора будетъ ходьбы... Что, у тебя, видно, много денегъ-то?

— Марья Ивановна... Напрасно ты обижаешь меня. Богъ съ тобой! Виновата ли я, что пища у васъ здѣсь нехорошая.

— Э-э! Ко всему надо привыкать. Подмети-ка лучше избу-то, чѣмъ такъ сидѣть.—И Марья Ивановна принесла изъ своей кухни метлу.

Пелагея Прохоровна начала мести, но хозяйка, посмотрѣвъ на нее, съ сердцемъ выхватила метлу и сказала:

— Я такъ и поняла, что ты бѣлоручка! А тоже хочетъ въ людяхъ жить. Поди, ложись лучше на свое мѣсто.

Пелагея Прохоровна не стала возражать и легла. Хозяйка тщательно вымела полъ, спрыснула его водой и опять вымела. Послѣ этой операціи она сходила за кипяткомъ, который принесла въ большомъ мѣдномъ, почти черномъ чайникѣ, и усѣлась въ избѣ пить кофе, сѣвши за столъ на маленькую скамеечку, которую она притащила изъ кухни.

— Хочешь кофею? — спросила она Пелагею Прохоровну.

— Покорно благодарю; я его отродясь не пивала.

— Ты выпей, легче будетъ.

— Нѣтъ, не хочу я этого пойла.

— А здѣсь ты должна привыкать ко всему. Если ты поступишь въ кухарки или прачки, тебѣ будутъ давать кофею. Куда хочешь дѣвай; таково ужъ здѣсь положенье.

Пелагея Прохоровна попросила Марью Ивановну разъяснить ей, что значитъ ходить на Никольскій рынокъ продаваться. Марья Ивановна, находясь въ хорошемъ настроеніи и имѣя свободное время, объяснила подробно этотъ вопросъ. Въ чемъ дѣло—читатели скоро узнаютъ.

Солнышко манитъ на улицу; въ избѣ душно, несмотря даже и на то, что Марья Ивановна отперла дверь въ сѣни; безъ дѣла скучно. Вышла Пелагея Прохоровна во дворъ, присѣла на крылечко, солнце такъ и палитъ, какъ изъ печи; во дворѣ душно, тяжело дышется, въ горлѣ першитъ.

«Нѣтъ, у насъ не въ примѣръ лучше. У насъ если жарко — окно отворимъ, и ничѣмъ не пахнетъ. А если на улицѣ жарко, схоронимся куда-нибудь въ сторону; здѣсь и схорониться некуда, и пахнетъ нехорошо, и въ горлѣ першитъ», думала Пелагея Прохоровна, и ушла въ избу.

Марья Ивановна, моя чашку, напѣвала духовныя пѣсни. Послѣ этого она, не торопясь, одѣлась въ своей кухнѣ.

— Ты никуда не пойдешь?—спросила она Пелагею Прохоровну.

— Куда я пойду? Кабы я въ силахъ!

— Ну, такъ запрись на крючокъ, а я пойду на желѣзную дорогу.

— Зачѣмъ?

— Надо мужиковъ зазвать.

— И ты каждый день такъ ходишь!

— Какъ же! Подъ лежачій камень вода не побѣжитъ, говоритъ пословица. — И Марья Ивановна вышла.

«Какая она добрая и старательная. Вотъ бы мнѣ до такой жизни дожить».

Но Пелагея Прохоровна не понимала того, какъ нелегко Марьѣ Ивановнѣ достаются мѣдныя гривны. Она не знала того, что если Марья Ивановна не пойдетъ сегодня на желѣзную дорогу, да не будетъ тамъ по пріѣздѣ поѣзда заманивать честнымъ и нечестнымъ образомъ пріѣзжающихъ крестьянъ, то съ желѣзной дороги къ ней придетъ развѣ или уже останавливавшійся у нея, или заблудившійся, случайно забредшій сюда горемыка; а на этихъ людей, что ночевали сегодня, надежда плохая, потому что половина изъ нихъ можетъ быть поступитъ на мѣсто, а другая половина разбредется по другимъ постоялымъ дворамъ, которые ближе къ Сѣнной площади.

Пришла Марья Ивановна и привела съ собой пятнадцать мужчинъ и шесть женщинъ. Мужчины и женщины галдѣли; но на лицѣ Марьи Ивановны выражалось неудовольствіе. И не мудрено: сегодня ей меньше вчерашняго пришлось набрать народа.

— Никто не бывалъ? — спросила она сердито Пелагею Прохоровну.

— Нѣтъ.

— Вотъ что: ты бы шла въ другое мѣсто, — сказала она шопотомъ на ухо Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Зачѣмъ?

— Кто те знаетъ, какая у тебя болѣзнь? Можетъ, холера.

Пелагея Прохоровна поблѣднѣла. Хозяйка ушла. Женщины стали знакомиться съ Пелагеей Прохоровной. Изъ нихъ двѣ бывали въ Петербургѣ и утѣшили Пелагею Прохоровну тѣмъ, что можетъ къ завтрему болѣзнь пройдетъ. Онѣ думали такъ потому, что въ Петербургѣ съ непривычки почти у всѣхъ бабъ бываетъ эта болѣзнь въ первый день по пріѣздѣ, если только онѣ напьются питерской воды или поѣдятъ чего-нибудь соленаго.

Въ избѣ происходило то же самое, что и вчера: мужчины и женщины сидѣли отдѣльно; мужчины курили, выходили, проходили на-веселѣ, женщины отъ скуки часто ѣли или черный хлѣбъ, или булки; у одной даже оказался розанчикъ. Къ вечеру всѣ женщины переговорили между собой много, успѣли раза два поссориться; мужчины успѣли къ вечеру выпить, кто по косушкѣ, кто по двѣ косушки, и накурили, какъ вчера. Къ одиннадцати часамъ уснули всѣ, кромѣ Пелагеи Прохоровны,

которая, лежа въ углу, вертѣлась съ боку на бокъ, что̀ ужасно безпокоило добрую Марью Ивановну.

— Ты не спишь?—спросила она тихонько Пелагею Прохоровну, подойдя къ ней.

— Нѣтъ.

Хозяйка вышла изъ избы и немного погодя привела городового.

— Ну, что жъ я сдѣлаю?—ворчалъ сквозь зубы городовой.

— Отправь ее въ больницу.

— Не могу. Вѣдь у нея нѣтъ адреснаго билета?

— Одинъ паспортъ.

— Ну, значитъ, безъ адреснаго и днемъ въ больницу не примутъ.

— Что же дѣлать? А если у нея холера?

— Если будетъ худо, завтра объяви въ кварталѣ. Тогда посмотримъ.

— Боже ты мой! Вотъ наказанье-то!

Городовой вышелъ. Хозяйка ушла въ свою кухню, сѣла на кровать и задумалась.

— Слышите, ребята, — холера! — проговорилъ одинъ крестьянинъ.

— Что ты врешь!—сказалъ другой, проснувшійся отъ слова холера.

— Ей-Богу! сейчасъ полиція приходила и объявила хозяйкѣ, что если помрутъ мужики—объявить.

— Господь съ нами! Да гдѣ жъ эта холера!—говорили проснувшіеся крестьяне.

— Что вы его, дурака, слушаете. Онъ нализался вчера и бредитъ.

— Своими ушами слышалъ—провалиться!

— То-то, вчера едва на ногахъ держался! Спалъ бы лучше, а не мутилъ народъ.

Женщины тоже проснулись, слышали весь этотъ разговоръ и струсили не на шутку, но больше всѣхъ трусили Пелагея Прохоровна и хозяйка: первая трусила не потому, чтобы боялась холеры или смерти, — нѣтъ: она боялась, чтобы женщины не подумали, что холера съ ней, и тогда ей не попасть завтра на Никольскій рынокъ, что ее пожалуй въ самомъ дѣлѣ свезутъ въ полицію, тогда какъ съ ней просто слабость, маленькая головная боль и безсонница, а животъ пересталъ болѣть съ тѣхъ поръ, какъ она выпила осьмушку перцовки вечеромъ; хозяйка по простотѣ своей думала, что съ Мокроносовой дѣйствительно холера. А умри-ка у нея кто-нибудь,—хлопотъ и возни не оберешься!

Женщины не могли уснуть до утра. Онѣ разсказывали разные ужасы изъ деревенской, сельской и городской жизни; говорили о покойникахъ, о колдунахъ, о томъ, какъ вѣдьмы новорожденныхъ ребятъ въ трубу вытаскиваютъ, и пр.

Утромъ Пелагея Прохоровна ходила по избѣ бодро. Хозяйка подошла къ ней и спросила шопотомъ:

— Прошло?

— Слава Богу. Перцовка, знать-то, помогла.

Немного погодя послѣ этого женщины, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна, вышли на набережную Лиговскаго канала со своими узелками. За ними вышли и мужчины. Мужчины и женщины столпились въ кучки.

— Куда идти-то? — спросилъ одинъ мужчина товарищей.

— Пойдемте по Глазовской. Я тамъ робилъ... Оттуда Сѣнная-то близко, — проговорилъ мужчина въ толпѣ.

— Пойдемте прямой дорогой по Невскому, да по Садовой,—сказала одна женщина другимъ женщинамъ.

— Веди! только чтобы къ мѣсту...

Бывалая женщина тронулась, за ней пошли остальныя, въ томъ числѣ и Пелагея Прохоровна. Когда онѣ вышли на уголъ Невскаго и Лиговскаго канала, Степанида Антиповна (такъ звали бывалую женщину) взглянула на часы на башнѣ, устроенной надъ зданіемъ московской желѣзной дороги. Стрѣлка показывала половину шестого часа.

— Какъ разъ впору: половина шестого. Покуда идемъ, да что...—проговорила Степанида Антиповна.

Женщины тоже поглядѣли на башни и подивились надъ тѣмъ, какъ это часы высоко придѣланы, да еще такъ, что ихъ издалека видно!

Солнце уже высоко стояло и грѣло слегка. Легкій вѣтерокъ съ моря освѣжалъ воздухъ. Теперь дышалось легче оттого, что пыль къ этому времени осѣла на строенія и мостовыя. Въ это раннее время дѣятельности и движенія въ Петербургѣ мало. На Невскомъ пусто; изрѣдка развѣ проѣдетъ карета или извозчикъ съ загулявшимся кутилой. Извозчики, сидя въ пролеткахъ, дремлютъ и поднимаютъ головы тогда, когда мимо нихъ проѣдетъ извозчикъ или съ сѣдокомъ, или безъ сѣдока. Мало стоитъ на перекресткахъ городовыхъ. Заперты магазины, но уже отворены мелочныя лавки и питейныя заведенія, въ которыя захаживаютъ и изъ которыхъ уже выходятъ: изъ первыхъ — женщины-кухарки, женщины-прачки, швеи; изъ вторыхъ—мастеровые, подмастерья, рабочіе. Дворники въ розовыхъ вязаныхъ фуфайкахъ, или просто въ ситцевой рубашкѣ и черной жилеткѣ, въ фуражкѣ и съ фартукомъ метутъ мостовыя, панели. То и дѣло со всѣхъ сторонъ стекаются на Невскій разные рабочіе. Въ одномъ мѣстѣ уже выбрасываютъ изъ ямы черную вонючую землю, размокшую, какъ грязь. Въ другомъ мѣстѣ, по лѣвую сторону Невскаго, десять человѣкъ рабочихъ бросили на недоконченную мостовую два лома, мѣшечки съ хлѣбомъ, молотки и стали снимать, кто рваные полушубки, кто поддевки. Въ это время дремлютъ на мостахъ торгаши булокъ, печеныхъ яицъ, кренделей, яблоковъ и разныхъ разностей; они почти круглый годъ живутъ около своихъ лавочекъ; въ это время не гремятъ мостовыя, не кричатъ мальчики со спичками, торгаши яблокъ, рыбы и т. п., только откуда-то слышится свистъ, какъ отъ локомотива или какъ изъ фабричной трубы.

Женщины шли и удивлялись. Ихъ все удивляло: громадные дома, построенные вплотную, и множество вывѣсокъ на нихъ, и то, что въ каждомъ домѣ, исключая немногихъ, весь нижній этажъ за-

нятъ лавками, и зеркальныя стекла въ окнахъ, и большое число рабочихъ, то и дѣло выходящихъ изъ улицъ, или идущихъ по Невскому куда-то впередъ, рельсы посреди улицы. И говорили онѣ между собой: «Нѣтъ у насъ лучше Питера города; и сколько, должно быть, въ немъ господъ живетъ! и неужели купцы могутъ торговать выгодно, если въ каждомъ домѣ нѣсколько лавокъ; и хорошо бы пожить въ верхнемъ этажѣ: все бы тогда увидѣлъ и все бы сидѣлъ у окна и глядѣлъ на улицу». И чѣмъ дальше онѣ шли, тѣмъ больше имъ нравился Петербургъ; онѣ не чувствовали устали, и каждой казались теперь противными родныя мѣста, деревни, села, города, каждой хотѣлось жить въ Петербургѣ.

— Тыщу рублей давай теперь мнѣ, не пойду отселева... Эхъ, кабы Власъ Васильичъ надоумился пріѣхать сюда. Озолотѣлъ бы онъ. А дядя-дурачекъ зажилъ бы припѣваючи: ему бы только глазами взглянуть на Питеръ, онъ бы выдумалъ штуку... Да будь у меня деньги, я, ей-Богу, завела бы постоялый дворъ... А что эти мужики говорили, что здѣсь худо,—враки! Дѣла здѣсь, должно быть, много. Вѣдь вонъ сколько насъ на машинѣ пріѣхало, и всѣ разошлись. Съ постоялой избы сколько ушло и не воротились! И говорятъ, каждый день столько народу пріѣзжаетъ... Да, хорошо, должно быть, здѣсь. Но кто же живетъ въ этихъ домахъ? Неужели все господа?..—Такъ думала Пелагея Прохоровна и спросила объ этомъ Степаниду Антиповну.

— Все господа и купцы... Живутъ больше такъ: у каждаго своя комната. Вотъ въ этомъ дому, я думаю, человѣкъ тысяча живетъ.

Женщины удивились.

— Народу здѣсь страсть! Говорятъ, тысячи-тысячъ. Полиція каждый день ведетъ счетъ, никакъ не можетъ сосчитать.

Женщины еще больше удивлялись.

Такъ онѣ дошли до Сѣнной. На Сѣнной торгаши уже отпирали лавки, мужчины и женщины, большею частью пожилыхъ лѣтъ, катили сюда изъ разныхъ улицъ телѣжки съ разными разностями и останавливались каждый на своемъ мѣстѣ. Мало-по-малу Сѣнная площадь наполнялась торговыми людьми, женщины стали предлагать нашимъ женщинамъ яблокъ, нитокъ, катушекъ, тесемокъ, стали появляться женщины въ салопчикахъ и черныхъ суконныхъ пальто съ рогожными кульками въ видѣ сумочекъ. Но не это торговое движеніе, только что начинающееся, привлекло все вниманіе нашихъ женщинъ, а то, что въ углу между церковью и Полторацкимъ переулкомъ толпилось до двухъ сотъ крестьянъ; около нихъ стояло нѣсколько женщинъ.

— Подойдемте къ мужикамъ: нѣтъ ли нашихъ,—сказала Степанида Антиповна и повернула къ толпѣ.

«Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ ли тутъ дяди, али Васьки Короваева. Можетъ, они съ желѣзной-то и пошли сюды. Вотъ бы обрадовались-то!»—подумала Пелагея Прохоровна.

— Это и есть Никольскій?—спросила она Степаниду Антиповну.

— Еще не дошли. Энто Сѣнная прозывается,—проговорила Степанида Антиповна.

Мужчины галдѣли. Женщины подошли къ нимъ, стали заглядывать; ни одного нѣтъ знакомаго; даже и тѣхъ нѣтъ, которые ночевали въ одной съ ними избѣ.

— Еще хвастались, а вотъ мы скорѣе ихъ дошли,—сказала Степанида Антиповна.

— Что жъ они тутъ стоятъ?—спросила Пелагея Прохоровна.

— А нанимаются. Этотъ рынокъ мужской.

Пелагея Прохоровна придвинулась ближе къ мужчинамъ. Въ срединѣ ихъ стоялъ высокій здоровый мужчина въ фуражкѣ и темно-синемъ суконномъ кафтанѣ. Онъ говорилъ:

— Такъ ежели тридцать копеекъ...

— Несподручно,—загалдѣлъ народъ.

— Харчи чьи?—спросилъ молодой мужчина.

— Харчи ваши. Такъ пожалуй тридцать пять.

— Нѣтъ... Такъ не годится,—говорилъ народъ и отошелъ отъ него, потомъ разсыпался по углу площади.

Стали собираться въ кучки, въ которыхъ говорили:

— Какая, онъ говоритъ, работа?

— Полы передѣлывать, стѣны штукатурить.

— Далеко отселева?

— Сколько человѣкъ-то?

— Надо спросить.

Кучки опять разсыпались, подошли къ подрядчику, окружили его.

— Сколько требуется народу?

— Пятьдесятъ человѣкъ, потому кто ежели портитъ только, тово вонъ. Ну, такъ какъ?

— Ну, а какъ идти?

— Какъ хотите, можно и на машинѣ. Отсюда въ Царское всего четвертакъ стоитъ.

— Пойдемте, бабы, кабы не опоздать,—сказала вдругъ Степанида Антиповна и пошла.

Женщины тронулись. Прошли Сѣнную, перешли Вознесенскій проспектъ. Впереди и сзади нашихъ женщинъ шли тоже женщины, по пяти, по двѣ и даже въ одиночку. Сердце забилось сильнѣе у Пелагеи Прохоровны. «Продаваться!» подумала она. «Что-то будетъ, что-то будетъ?..»

Вотъ и площадь. По лѣвую сторону каменныя лавки, зданіе, похожее на гостиный дворъ, съ подваломъ, въ которомъ устроены лавки, которыя тоже отворяютъ торгаши, а нѣкоторые уже вывѣшиваютъ на двери веревки, бичевки, шлеи, дуги съ колокольцами и безъ колокольцевъ. Впереди отъ Старо-Никольскаго моста стоитъ нѣсколько женщинъ съ узелками.

Поравнявшись съ соборомъ, наши женщины усердно помолились на него и потомъ подошли къ тѣмъ женщинамъ, оглядѣли ихъ, поклонились имъ; тѣ тоже оглядѣли вновь пришедшихъ и слегка кивнули головами. Пришедшія остановились.

— Вы подальше отъ насъ!—сказала одна мо-

лодая женщина изъ прежде пришедшихъ и тронула за руку Степаниду Антиповну, желая ее отвести.

— Это почему? — спросила сердито Степанида Антиповна тронувшую ее женщину.

— Потому, ты намъ не компанья.

— Я тебѣ покажу компанью... Вотъ и видно, что изъ новенькихъ.

— Какъ бы не такъ! Вотъ тебя такъ по облику видно, что ты калужская луковица.

— Ахъ ты, подлая! Можетъ, ты—калужская-то, а я вовсе не калужская, а питерская.

— Оно и замѣтно.

— Двиньтесь, бабы, плотнѣе,—крикнула храбро Степанида Антиповна своимъ одноночлежницамъ и толкнула назойливую бабу.

Баба разсвирѣпѣла, обозвала Степаниду Антиповну воровкой. Женщины заголосили и едва не вступили въ рукопашную, но къ нимъ подошелъ городовой, стоявшій доселѣ, какъ статуя. Онъ подошелъ медленно, какъ-будто каждый его шагъ стоитъ большихъ денегъ, остановился противъ женщинъ и тупо-флегматически сталъ смотрѣть на нихъ. Степанида Антиповна и ея противница двинулись къ городовому, за ними двинулись и женщины.

— Она меня обозвала! — закричала Степанида Антиповна.

— Она воровка... въ узлу у нея воровскія вещи.

— Ее надо за это...

— Кто ты есть такая, позволь тебя спросить? Ты не разъ въ части сиживала.

— Ну-ну!! Молчать!—проговорилъ начальническимъ тономъ городовой.

Женщины заголосили, но городовой началъ легонько толкать ихъ, говоря:

— Что на дорогу стали! Становитесь въ уголъ! Пошли, пошли!! Я васъ!

Женщины попятились. Городовой пошелъ дальше и сталъ распекать женщинъ, продающихъ хлѣбъ, за то, что онѣ выдвинули столы очень близко къ дорогѣ.

Женщинъ прибывало больше и больше. Онѣ приходили или кучками, или въ одиночку, большею частью съ Сѣнной площади. Приходили сюда и отъ церкви Покрова, и отъ Фонтанки по Крюкову каналу, но это были женщины, отошедшія отъ мѣстъ въ Петербургѣ; онѣ приходили даже безъ узелковъ,—значитъ, у нихъ были знакомые, у которыхъ онѣ оставили свои вещи. Всѣ вновь пришедшія протискивались въ кучу или становились отдѣльно, недалеко отъ столиковъ, или пристроивались къ чугунной рѣшеткѣ въ уголъ при впаденіи Екатерининскаго канала въ Крюковъ каналъ.

Нѣкоторыя изъ нихъ нашли знакомыхъ.

— И ты здѣсь? —спросила женщина Пелагею Прохоровну, дергая за рукавъ.

Та обернулась, посмотрѣла на женщину: гдѣ-то видѣла, а не припомнитъ.

— Не узнала? А узнала ли ты Питеръ?—спросита снова женщина, улыбаясь.

— Ты у той, что съ кабатчикомъ ругается?— спросила Пелагея Прохоровна женщину.

— Будь она!.. Чтобъ ей... Жаль, что она не подавилась кофеемъ.

— Что такъ?

— Да такъ! Всю ночь спать не дали. Сперва къ ней любовникъ пришелъ, бить ее зачалъ, насъ сталъ гнать. Просто бѣда! Спасибо, мужики защитили: связали ея любовника. Потомъ полиція. «Подавайте паспорта!» Ну, подали; записалъ всѣхъ и паспорта возвратилъ... Всю ночь не спали.

— А вчера гдѣ спали?

— Тутъ на Сѣнной... Тоже не приведи Царица Небесная! Если все говорить, что тамъ дѣлается, волосы дыбомъ встанутъ.

И женщина отошла къ другой, знакомой ей женщинѣ.

Пелагея Прохоровна подошла къ Крюкову каналу и стала смотрѣть на медленно подвигающіяся съ Фонтанки барки съ кирпичемъ, углемъ и дровами. Интереснаго въ этомъ для нея было не много, и она присѣла на панель, устроенную около рѣшетки. Къ ней подошла одна изъ женщинъ, ночевавшихъ съ нею первую ночь.

— Здавствуй. А мы думали, ты ужъ померла.

— А што?

— Да вотъ на томъ постояломъ, гдѣ мы сегодня ночевали, двоихъ мужиковъ въ больницу взяли, потому, говорятъ, съ ними холера. И холера эта, говорятъ, отъ огурцовъ да отъ водки приключилась съ ними.

— Господи помилуй!

— Меня тоже хозяйка хотѣла отправить въ больницу и полицейскаго призывала.

— Неужели?

Въ это время Пелагею Прохоровну и ея знакомую окружило нѣсколько женщинъ, которыя тоже удивлялись и были напуганы холерой на постоялыхъ дворахъ.

— Какъ же ты отдѣлалась-то?

— Да такъ! Вчера весь день пролежала...

— Ну, значитъ, холера!

— Да у те поди и теперь холера.

— Отойдемте, бабы!—проговорили женщины, но прочь не шли, потому что ихъ интересовало то, какъ холерная женщина отдѣлалась отъ полиціи.

— Погляжу я на васъ, такъ у васъ ума-то и на эстолько нѣту!—Пелагея Прохоровна показала на половину ногтя на мизинцѣ.—Если бы я была нездорова, могла ли бы придти сюда? Могла ли бы я быть въ полномъ разсудкѣ? Ну, подумали ли вы о томъ, что сказали, пустыя вы головы!

— Кто те знаетъ. Если бы ты не сидѣла, еще можно вѣрить...—проговорила бойко и неизвѣстно почему улыбаясь женщина безъ узла и съ красными пятнами на лицѣ.

— Если тебѣ хочется на мое мѣсто сѣсть— изволь! — почти крикнула Пелагея Прохоровна взволнованнымъ голосомъ, встала, и пошла къ Екатерининскому каналу, уперлась на перила и задумалась.

Женщины въ недоумѣніи поглядѣли другъ на друга нѣсколько секундъ.

— Вострая!—сказала одна изъ нихъ.

— Изъ самой Сибири, говорятъ, пріѣхала.
— Не бѣглая ли какая?
— Я паспортъ видѣла.
— Паспортъ и украсть можно.

Женщины поговорили о Пелагеѣ Прохоровнѣ минутъ десять, говорили громко, стараясь вызвать на ссору Пелагею Прохоровну: но видя, что она не обращаетъ на нихъ вниманія, разошлись отъ Крюкова канала.

У Николы зазвонили къ обѣднѣ. Въ это время Большая Садовая улица уже не походила на ту, какою она была утромъ. Впередъ и обратно по ней то и дѣло ѣхали извозчики съ сѣдоками; то и дѣло ломовыя лошади везли или мѣшки съ мукой, кули съ куделей, хлопчатой бумагой, желѣзо, плохонькую мебель, за которою или шла старушка въ худенькомъ салопчикѣ и капорѣ на головѣ, или молодая женщина въ черномъ суконномъ пальто съ костяными четырехугольными и шестиугольными пуговицами, ѣхали порожнія кареты, порожнія пролетки съ важно сидящими въ нихъ извощиками, предлагающими отъ скуки прокатить пѣшеходовъ, преимущественно людей бѣдно одѣтыхъ, которыхъ теперь шло впередъ и обратно очень много. Всѣ эти пѣшеходы что-нибудь несли въ рукахъ и шли скоро. Вотъ пріѣхала городская карета, запряженная четверкой лошадей, едва передвигающихъ ноги; на передкѣ стоитъ кондукторъ съ свѣтлыми пуговицами, въ фуражкѣ съ какимъ-то значкомъ и съ кожаннымъ кошелькомъ на боку. Карета остановилась противъ Николы и изъ нея вышло человѣкъ девять мужчинъ и женщинъ, изъ коихъ половина, по одеждѣ, принадлежала къ порядочному сословію, а другая половина—къ голодающему классу. Вотъ зазвенѣлъ гдѣ-то крѣпко колокольчикъ, и немного погодя показался вагонъ, который тащили по рельсамъ двѣ лошади. На немъ и въ немъ сидѣли люди; вверху мужички, приказчики; внутри—господа, купцы и дамы. На передкѣ и на задкѣ этой кареты стояло по кондуктору въ форменной одеждѣ. Лошади остановились, немного не дойдя до дилижанса. Въ лавкахъ не было тоже пусто: тамъ покупали, кто дугу, кто деготь, кто овса и т. п. Всѣ столы были заняты торговцами и торгашами, но женщины здѣсь превосходили своимъ количествомъ мужчинъ. На столахъ стояли огромные чайники съ какимъ-то кислосладкимъ теплымъ пойломъ, называемымъ медомъ и стеклянные кувшины съ квасомъ изъ клюквы; лежали печенки, рубцы, яйца, тешка, черный и бѣлый хлѣбъ. По улицѣ мимо лавокъ шли торгаши съ яблоками, апельсинами и лимонами, съ сахарнымъ мороженымъ, ребята со спичками. Всѣ эти люди громко, почти во все горло кричали и предлагали встрѣчнымъ купить ихъ товаръ.

Женщинъ теперь было въ углу между Крюковымъ и Екатерининскимъ каналомъ до двухсотъ. Онѣ разсыпались по этому углу такъ, что городовой то и дѣло просилъ ихъ попятиться съ дороги. Тутъ были и чухонки, лепечущія на своемъ языкѣ и стоящія отъ русскихъ особнякомъ, и нѣмки въ худенькихъ салопчикахъ и чепчикахъ на головахъ, и еврейки; тутъ была даже дѣвочка годовъ шести, босая, съ незакрытой ничѣмъ головой и съ маленькою плѣшью на теменн, стоящая около пожилой женщины.

Однѣ изъ женщинъ галдятъ, ссорятся отъ скуки, стараются своимъ крикомъ осилить другихъ и высказать свою толковость; другія молчатъ. На всѣхъ лицахъ выражается какое-то нетерпѣніе и страхъ; многія смотрятъ на образъ Николая-чудотворца, на церковь и вздыхаютъ. Вонъ одна молодая женщина, прислонившись къ периламъ, плачетъ. Она старается не плакать, но не можетъ удержать слезъ. Вонъ пожилая женщина, съ отчаяніемъ въ лицѣ, смотритъ въ каналъ, глаза ея точно приковались къ одному мѣсту. Вотъ дѣвушка годовъ семнадцати, сидя на мостовой, уперла голову обѣими руками. Другія стоятъ тоже съ невеселыми лицами, часто вздыхаютъ и смотрятъ большею частью на одно мѣсто, какъ бы что-то обдумывая. Ихъ не интересуютъ разговоры, брань и ссоры другихъ женщинъ, еще повидимому не испытавшихъ петербургской жизни; онѣ сосредоточились сами въ себѣ, точно ихъ горе очень велико, и впереди не видится ничего хорошаго.

Пелагея Прохоровна замѣтила все это, и сердце ея билось не очень-то радостно. Ей хотѣлось заговорить съ молчаливыми и убитыми горемъ женщинами, но она по себѣ знала, какъ тяжело человѣку дѣлается въ то время, когда его спрашиваютъ. Но у женщинъ любопытство и сочувствіе къ женщинамъ велико; ее такъ и порывало подойти къ дѣвушкѣ, сидѣвшей на мостовой.

— Что это такъ долго никого нѣту?—проговорила она, не рѣшаясь: сѣсть или нѣтъ.

Дѣвушка поглядѣла на Пелагею Прохоровну, но ничего не сказала.

— Ты бы лучше къ рѣчкѣ стала—вѣтеркомъ бы продуло.

— Ничего.

— Ты здѣшняя?

— А ты?

— Я издалека.—И Пелагея Прохоровна разсказала, откуда она, и присѣла къ дѣвушкѣ.

— Ты, стало быть, еще не знаешь петербургской жизни.

— Гдѣ мнѣ знать? Что будетъ, то и будь. Вѣдь ужъ не будетъ же хуже того, что было!

— А было и худое развѣ?

— Что и говорить. Я ужъ рѣшилась молчать, потому что было, то прошло. А я по облику твоему замѣчаю и по рѣчи, что ты не изъ мужичекъ... Правду я говорю?

Дѣвушка закрыла руками лицо.

Вдругъ всѣ женщины подвинулись къ дорогѣ; сидѣвшія вскочили и побѣжали къ толпѣ; стоявшія у каналовъ тоже побѣжали, съ яростью толкая другъ друга. Пелагея Прохоровна и дѣвушка встали и пошли.

Въ серединѣ женщинъ стояла пожилая, толстая барыня въ бѣлой шляпкѣ и въ драповомъ пальто.

— А умѣешь ли ты кушанья готовить?—спрашивала барыня одну женщину въ то время, какъ Пелагея Прохоровна и дѣвушка подошли къ толпѣ.

*

— Какъ же... я у хорошихъ господъ жила.

— Вретъ она! Она только-что изъ деревни пріѣхавши. Вы меня возьмите, я только сегодня отъ мѣста отошла,—проговорила другая женщина.

— Вретъ! вретъ!

— Она табакъ нюхаетъ, — кричали со всѣхъ сторонъ женщины.

Барыня была въ затрудненіи: женщинъ много, всѣмъ хочется въ кухарки, а какую изъ нихъ взять? Пожалуй возьмешь такую, которая ничего и дѣлать не умѣетъ, пожалуй попадется воровка.

Пелагея Прохоровна протискалась, употребляя въ дѣло локти, такъ что женщины отскакивали и въ свою очередь колотили ее въ спину.

— Возьмите меня. Я сама своимъ хозяйствомъ жила, нахлѣбниковъ держала, — проговорила она, остановившись передъ барыней.

Барыня улыбнулась. Вѣроятно ей не вѣрилось, чтобы деревенская баба могла гдѣ-то держать нахлѣбниковъ.

— Будто?—спросила барыня.

— Ей-Богу.

— Не вѣрьте ей, она полоумная, — кричали женщины.

Пелагея Прохоровна обернулась, и отъ злости, не помня, что дѣлаетъ, плюнула въ ту сторону, гдѣ говорили про нее.

— Ну, какъ же ты не полоумная! — кричали со всѣхъ сторонъ.

— Нѣтъ, я тебя не возьму, ты очень молода.

Пелагея Прохоровна отошла, думая: хорошо, что предупреждаетъ. И она стала искать глазами ту пожилую женщину, что́ съ отчаяніемъ смотрѣла въ каналъ. Но эта женщина уже стояла передъ барыней и плакала.

— Ты водку пьешь?—спросила ее барыня.

Пожилая женщина обернулась къ церкви, перекрестилась и сказала:

— Хоть разъ замѣтьте, такъ вотъ Николай угодникъ свидѣтель.

— Она горькая пьяница, — сказала какая-то женщина.

— Какъ вамъ не стыдно! Мало, видно, вы горя испытали!—крикнула Пелагея Прохоровна.

— А ты что пристаешь?

— Это она съ того все еще, что ее по нашей милости не взяли,—кричали женщины.

Барыня въ это время разглядывала паспортъ и адресный билетъ пожилой женщины.

— Ты въ больницѣ была?

— Да... Только вышла изъ больницы и пошла къ дочкѣ, пятнадцатый ей годокъ шелъ, она тамъ на Литейной золотомъ шила у француженки. Прихожу—говорятъ, померши полторы недѣли.

— Ну, такъ согласна ты на мои условія: жалованья два съ полтиной, фунтъ кофею, то есть полфунта кофею и полфунта цикорію, и фунтъ сахару?

— А жильцы есть?

— Да, есть. Имъ нужно и сапоги, и платья вычистить, и въ лавочку сходить...

— Положьте три съ полтиной.

— Нѣтъ, два съ полтиной. Жильцы тоже будутъ давать къ праздникамъ.

— Я согласна!—крикнула другая женщина.

Женщины захохотали; барыня тоже улыбнулась.

— Такъ какъ? — спросила барыня первую пожилую женщину.

Та подумала.

— Не прибавите жалованья-то?—спросила она.

— Нѣтъ.

— Да вѣдь работы много!

— Какъ знаешь. И васъ много.

Женщина согласилась. Барыня взяла ея паспортъ и адресный билетъ и велѣла приходить въ такую-то улицу, въ такой-то домъ и въ такой-то номеръ квартиры, а сама уѣхала съ извозчикомъ.

— Хорошъ ты, видно, сонъ видѣла сегодня,— сказала пожилой женщинѣ одна женщина.

— У васъ, видно, не было такихъ дѣтей, какъ у меня! — сказала съ презрѣніемъ пожилая женщина и пошла.

Къ ней подошла пожилая женщина въ салопчикѣ съ дѣвочкой.

— Голубушка! у тебя, говоришь, дочка умерла; возьми мою—проговорила она.

— Куда же мнѣ съ ней?

— Да я даромъ тебѣ ее даю, только корми да къ дѣлу пріучай.

— Сама знаешь, что кухарокъ не держатъ съ ребятами.

И нанятая женщина пошла торопливо.

— Заважничалась!—прошипѣла отъ злости пожилая женщина въ салопчикѣ, и неизвѣстно за что, ударила по затылку дѣвочку. Дѣвочка заплакала.

— За что ты дѣвчонку-то бьешь? — крикнула на нее женщина.

— Не твое дѣло: свою бью.

На пожилую женщину напала половина женщинъ: онѣ стали ее стыдить за то, во-первыхъ, что она бьетъ маленькую дѣвочку, и, во-вторыхъ, за то, что хочетъ эдакую маленькую въ работу отдать.

— Я ее продаю, потому что сама ищу мѣста и мнѣ самой нечего ѣсть,—оправдывалась мать дѣвочки.

Между тѣмъ вѣтеръ крѣпчалъ, по небу плыли тучи и мало-по-малу совсѣмъ закрыли солнце. Женщины проголодались и стали покупать ситный, печенку или яйца. Пелагея Прохоровна купила фунтъ ситнаго и фунтъ печенки. Съ этими яствами она подошла къ дѣвушкѣ, съ которой она прежде вступила въ разговоръ, и спросила, какъ ее зовутъ. Та сказала, что ее зовутъ Евгенія Тимофеевна.

— Не хочешь ли, Евгенія Тимофеевна?

И Пелагея Прохоровна отломила половину куска ситнаго и половину печенки, и дала ихъ Евгеніи Тимофеевнѣ. Та не брала.

— Я не хочу.

— Полно-ка. У тебя есть ли деньги-то?

— Есть.

— Ну, не церемонься! Я сама была въ нуждѣ. знаю.

— А если вамъ самимъ нечего будетъ ѣсть?—

сказала Евгенія Тимофеевна и взяла предложенныя ей явства.

— А руки-то на что Богъ далъ?

— Я тоже прежде думала, да вотъ цѣлый мѣсяцъ ищу мѣста. Ходила я и въ хваленое общество—говорятъ, мы принимаемъ по рекомендаціямъ. Принесите, говорятъ, письмо отъ сіятельнаго человѣка—примемъ. Ну, я было и пошла къ одному сіятельному лицу, бывшему въ нашей губерніи губернаторомъ. Цѣлую недѣлю я ходила—не допускаютъ. А я все письма ему оставляла. Вѣроятно письма ему не передавали. Наконецъ встрѣтила его у подъѣзда и говорю: я вашему-ству цѣлую недѣлю передавала письма черезъ швейцара. — Ничего, говоритъ, я не знаю. Приходите туда-то.— Я туда; кое-какъ допустили.—Кто, говоритъ, вы такая? — Я сказала.—А! говоритъ, знаю. Что же вамъ угодно, сударыня? — Я и прошу у него рекомендательное письмо. — Не могу, говоритъ, дать, потому что вы нехорошаго поведенья. Вы не съ хорошей стороны уже успѣли зарекомендовать себя въ провинціи; мнѣ, говоритъ, объ этомъ ваша тетушка писала.—Такъ я и ушла ни съ чѣмъ. Потомъ я какъ-то увидала въ газетѣ объявленіе: нужна гувернантка. Я прихожу. Квартира отдѣлана великолѣпно. Приглашаютъ меня въ кабинетъ. Въ креслѣ сидитъ баринъ. Пригласилъ сѣсть меня, разспросилъ, кто я такая. Часа два мы съ нимъ толковали; я спросила, велики ли у него дѣти? Онъ и говоритъ: у меня дѣтей нѣтъ, а мнѣ, говоритъ, гувернантка нужна для себя...

— Какъ это такъ? — перебила Евгенію Тимофеевну Пелагея Прохоровна.

— Я тоже удивилась. Онъ говоритъ: не удивляйтесь. Я вдовъ и мнѣ нужна женщина непремѣнно развитая; я бы, говоритъ, ее сдѣлалъ хозяйкой въ моей квартирѣ; однимъ словомъ, мнѣ, говоритъ, нужна молодая, красивая женщина для того, чтобы жить съ ней гражданскимъ бракомъ. Ну, я конечно не согласилась. Баринъ извинялся, далъ мнѣ на бѣдность денегъ, но я его денегъ не взяла. Конечно этакіе случаи рѣдки, но со мной по крайней мѣрѣ случилось такъ.

Женщины опять заволновались, стали сбираться въ одну кучу. Пелагея Прохоровна съ Евгеніей Тимофеевной тоже подошли. Еврейка нанимала кухарку и давала только рубль жалованья съ тѣмъ, что кухарка должна и бѣлье стирать. Поэтому охотницъ нашлось мало.

Только-что ушла еврейка, къ женщинамъ подошла толстая пожилая женщина въ шелковой мантильѣ, въ шелковомъ же черномъ платкѣ на головѣ. Въ правой рукѣ она держала зонтикъ. Подойдя къ женщинамъ, она стала оглядывать ихъ.

— Я! я! я!—кричали женщины, окружая нанимательницу.

Толстая женщина молчаливо выдержала напоръ женщинъ. Минутъ черезъ пять она начала звать къ себѣ самыхъ молодыхъ. Въ числѣ десятка молодыхъ попала Пелагея Прохоровна съ Евгеніей Тимофеевной.

— Кто изъ васъ желаетъ ко мнѣ поступить? — спросила толстая женщина съ зонтикомъ.

Поступить пожелали всѣ.

— Мнѣ нужно трехъ для комплекта.

Она опять осмотрѣла женщинъ и выбрала изъ нихъ трехъ. Эти три были: Пелагея Прохоровна, Евгенія Тимофеевна и одна чухонка-дѣвушка.

— Замужнія?

— Нѣтъ,—отвѣчали въ разъ всѣ три женщины.

— Болѣзни никакой нѣтъ?

— Нѣтъ.

Къ толстой женщинѣ подошла мать съ дѣвочкой.

— Купи дѣвочку.

— На что мнѣ ее: кабы она большая да красивая была — такъ! — крикнула толстая женщина съ зонтикомъ.

Сердце дрогнуло у Пелагеи Прохоровны. Она шепнула Евгеніи Тимофеевнѣ на ухо:

— Слышишь? тутъ что-то не ладно.

— Возьми хоть даромъ... — приставала мать дѣвочки, утирая глаза.

— Я сказала, что такихъ не беру... Продай еврейкамъ; онѣ за христіанку деньги дадутъ. Ну, желаете вы поступить ко мнѣ? — спросила нанимательница выбранныхъ ею женщинъ.

— А позволь тебя спросить, что у тебя за работа?—спросила Пелагея Прохоровна.

— Да у меня работы никакой нѣтъ. Развѣ себѣ что будете шить!

— А какая цѣна за это?—опять спросила Пелагея Прохоровна.

— Цѣны я назначить не могу. Вы будете мнѣ платить, каждая за свою комнату, такъ какъ я нанимаю цѣлый домъ и отъ себя отдаю комнаты жиличкамъ...

— Такъ ты это насъ на квартиру зовешь?

— Да!

— Ну, нѣ-ѣтъ... Мы въ работу нанимаемся, потому у насъ денегъ ни гроша нѣтъ. А она еще на квартиру къ себѣ зоветъ! — проговорила Пелагея Прохоровна и отошла. Прочія женщины тоже отошли.

— Послушайте? Эй, вы три?!—крикнула толстая женщина.

— Да нечего тутъ слушать!—крикнула Пелагея Прохоровна.

Толстая женщина съ зонтикомъ подошла къ Евгеніи Тимофеевнѣ.

— Послушай. Я за квартиру беру по истеченіи мѣсяца, за пищу—пища тоже отъ меня—тоже по истеченіи мѣсяца.

— Да изъ чего платить-то! Вѣдь нужно напередъ найти работу,—отвѣчала Евгенія Тимофеевна.

— Работа будетъ... За всѣми расходами, я такъ думаю, у тебя останется къ каждому первому числу рублей пятнадцать.

— Но какая работа?

— Я ужъ за это берусь.

— Но вы должны здѣсь сказать.

Толстая женщина нагнулась къ дѣвушкѣ и что-то ей шепнула. Щеки дѣвушки покрылись румянцемъ. Она задрожала и ничего не могла выговорить. Въ это время къ ней подошла Пелагея Прохоровна.

— Что съ тобой, Евгенія Тимофеевна?

— Вотъ... Подлая женщина...—И она зарыдала.

Пока Пелагея Прохоровна успокоивала Евгенію Тимофеевну, толстая женщина подошла къ чухонкѣ-дѣвушкѣ, поговорила съ ней и, немного погодя, чухонка пошла за ней, а потомъ женщина посадила ее съ собой въ пролетку и уѣхала.

— Вотъ какъ чухонки-то? Съ извозчиками ѣздятъ!—кричали женщины.

— Какъ? Чухонка таки уѣхала? — крикнула Евгенія Тимофеевна.

— Уѣхала.

— А надо бы ее воротить, бабы!—крикнула Пелагея Прохоровна.

— А что?

Пелагея Прохоровна разсказала, для какой цѣли эта женщина приглашала ихъ. Женщины заохали. Имъ жаль было чухонки, но теперь ея ужъ не воротишь. Стали говорить о томъ: убѣжитъ чухонка, или нѣтъ. Мнѣнія были различныя. Теперь на Пелагею Прохоровну всѣ смотрѣли съ уваженіемъ, и говорили про нее, что эта бѣлолицая бабенка не пропадетъ и не дастъ пальца въ ротъ, чтобы его откусили. А попадись дура, какъ чухонка, которой стоитъ только насулить всякой всячины, и попала какъ куръ во щи.

Появились на рынкѣ, около столиковъ съ яствами, каменщики съ замазанными глиной передниками, штукатуры, маляры; нѣкоторые изъ нихъ были даже безъ шапокъ и фуражекъ, и у иныхъ, въ длинныхъ или всклокоченныхъ волосахъ, на бородахъ и на лицѣ, была тоже или глина, или известка; появились рабочіе съ черными отъ дыма, пота и угля лицами, съ черными, какъ уголь, ладонями, съ черными фартуками; появились мальчики отъ двѣнадцати до восемнадцати лѣтъ тоже съ черными передниками, съ вымаранными слегка лицами. Всѣ они быстро подходили къ женщинамъ, брали у нихъ фунтъ чернаго хлѣба, селедку, или тешку, или яйцо, на деньги или въ долгъ, и потомъ такъ же быстро уходили черезъ Старо-Никольскій мостъ въ питейныя заведенія. Стало быть, теперь первый часъ; рабочіе уволены до второго часу обѣдать. Здѣсь можетъ быть читатель спроситъ: отчего они нейдутъ обѣдать домой? Они нейдутъ домой потому, что имъ можетъ быть до дому ходу цѣлый часъ. Работая по Фонтанкѣ и около Крюкова и Екатерининскаго каналовъ, они предпочитаютъ за лучшее покупать хлѣбъ, рыбу и проч. на рынкѣ, а не въ мелочныхъ лавкахъ, въ которыхъ они уже успѣли задолжать; покупая сначала на деньги съ шуточками и остротами, они наконецъ добиваются, что имъ вѣрятъ въ долгъ до получки заработанной платы.

Пошелъ дождикъ. Женщины стали прикрывать свои узелки, но дождикъ, какъ на зло, шелъ и шелъ, мало-по-малу промачивая полушубки, шугайчики, пальто. Хорошо было тѣмъ женщинамъ, у которыхъ былъ полушубокъ и пальто, но шугайчики скоро промокли. Мостовая тоже смокла, земля на каменьяхъ и между каменьями превратилась въ грязь... Женщины стали проситься къ торговкамъ, потому что тамъ надъ столами сдѣланы крыши. Женщины-торговки не пускаютъ.

Платки на головахъ промочило, по лицамъ течетъ вода и падаетъ вмѣстѣ съ дождемъ на плечи; ботинки, башмаки и сапоги промокли, дуетъ холодный вѣтеръ съ моря. Что дѣлать? Женщины силой лѣзутъ подъ крыши; торговки гонятъ ихъ прочь и кричатъ:

— По пятаку съ рыла!

— Ладно.

Большинство женщинъ вынимаютъ пятаки, у нѣкоторыхъ нѣтъ и трехъ копеекъ. Онѣ просятъ у другихъ, тѣ не даютъ. Евгенія Тимофеевна дрожитъ.

— На пятакъ!—говоритъ Пелагея Прохоровна и даетъ ей пятакъ.

Евгенія Тимофеевна не беретъ.

— Ничего, я не глиняная, не растаю. Теперь лѣто.

— А почто дрожишь-то?

— Не знаю. Это пройдетъ.

Дождь пересталъ идти. Женщины, заплатившія пятаки, стоятъ подъ крышками и ѣдятъ ситный. Торговки снова ихъ гонятъ.

— Идите, дождикъ пересталъ!

— Нѣтъ, мы денежки заплатили.

— Что вы, на постоялый что ли сюда забрались? говорите спасибо, что пустили!—говорили торговки, употребляя въ дѣло локти.

Какъ ни лебезили женщины передъ торговками, какъ ни упрашивали ихъ дозволить постоять еще чуточку, а торговки все-таки прогнали ихъ. Женщины стали на прежнія мѣста и сдѣлались очень сердиты: имъ жаль стало пятаковъ, и онѣ начали задирать на ссору тѣхъ, которыя не имѣли удовольствія быть подъ крышками. Къ женщинамъ подъѣхала въ пролеткѣ дама.

— Нѣтъ ли тутъ мамокъ? Не можетъ ли кто ребенка грудью кормить?—спросила дама женщинъ, подойдя къ нимъ.

Женщины поглядѣли другъ на друга. Четыре женщины—три чухонки и одна русская—подошли къ дамѣ. Дама разспросила ихъ; давно ли онѣ родили. Оказалось, что двѣ родили уже съ годъ, одна съ полгода, и одна назадъ тому три мѣсяца.

— Гдѣ ребенокъ?—спросила дама чухонку.

— Померъ.

— А у тебя гдѣ ребенокъ?—спросила дама ту, которая родила съ полгода.

— Въ деревнѣ—на молокѣ.

— Зачѣмъ же ты его бросила?

— И, барыня!.. Мужъ все говорилъ: «оставь ребенка, пойдемъ въ Питеръ; тамъ въ мамки поступишь». Ходила въ спитательный—солдатъ не пустилъ. Знать-то ему денегъ надыть... А вамъ для свово дитя?

— Да.

Дама отвела женщину въ сторону, посмотрѣла у ней груди и зубы и стала торговаться. Эта женщина слыхала, что въ Питерѣ мамки получаютъ по восьми руб. въ мѣсяцъ, дюжину рубашекъ, шесть сарафановъ и другіе подарки. Но дама больше пяти рублей не давала и обѣщала, если только она про-

живетъ полгода, сшить два сарафана и подарить двѣ пары ботинокъ. Пища, разумѣется, хозяйская. Женщина думала, рядилась, и черезъ полчаса согласилась на предложенныя условія.

— Вотъ кому счастье, дакъ счастье! Эхъ, кабы у меня былъ ребенокъ!..—вздыхала одна женщина.

Эту женщину обругали.

— Да мнѣ давай десять цалковыхъ—не пойду. Какъ бы не такъ! ни днемъ, ни ночью нѣту спокойствія.

Подошла молодая женщина въ вязаномъ розовомъ платкѣ на головѣ и въ драповомъ темно-синяго цвѣта пальто. Въ одной рукѣ она держала небольшой кожаный саквояжъ, въ другой зонтикъ.

— Эта, видно, опять изъ такихъ, какъ даве толстая съ зонтикомъ,—проговорили женщины, но все-таки подошли къ ней. Пелагея Прохоровна съ Евгеніей Тимофеевной тоже подошли не ради найма, а ради развлеченія.

— Кто изъ васъ умѣетъ шить?

— Я! я!—крикнула каждая женщина.

— Мнѣ нужна швея шить сорочки, манишки, дѣлать мѣтки. Работа трудная, шить нужно чисто, хорошо, на господъ. Случается и на машинѣ шить.

Женщины посмотрѣли другъ на дружку. Никто не рѣшался поступить въ швеи, потому что такихъ швей не было.

— Возьмите меня; я умѣю шить что угодно!—проговорила робко Евгенія Тимофеевна.

— Ты изъ какихъ?

— Изъ... дворянокъ... Да вотъ, я сама шила себѣ этотъ бурнусъ.

Швея посмотрѣла на строчку.

— Мнѣ надо почище! это очень некрасиво.

— Я молода, могу скоро пріучиться къ здѣшней работѣ.

— Такъ-то оно такъ. Но вотъ что: вы дворянка, а я мѣщанка. Уживемся ли мы?

— Объ этомъ вы пожалуйста не безпокойтесь; я увѣрена, что мы сойдемся. Я для того и пріѣхала сюда, чтобы работать.

— Пожалуй, я васъ возьму. Видите, я еще только открываю швейную; вы теперь будете третья. Вы будете сперва получать за штуку, на моемъ готовомъ содержаніи, а тамъ увидимъ: если будете хорошо работать, я васъ сдѣлаю мастерицей и положу жалованье. Какъ вы думаете объ этомъ?

— Я согласна,—робко проговорила Евгенія Тимофеевна.

— Еще одно условіе: чтобы къ вамъ не ходили мужчины.

— Помилуйте! я здѣсь живу еще очень мало.

— Ну, ужъ это дѣло мое. По воскресеньямъ вы будете свободны и можете или работать на себя, или идти гулять.

Евгенія Тимофеевна ничего не могла сказать на это: она была очень рада, что попала въ швеи, и даже забыла проститься съ Пелагеей Прохоровной, которая плохо вѣрила словамъ швеи и крикнула отходящей Евгеніи Тимофеевнѣ:

— Прощай, Евгенія Тимофеевна. Желаю тебѣ счастья.

Стали приходить къ женщинамъ мужчины—мужья, братья, деверья, однодеревенцы. Одни изъ нихъ говорили, что завтра поступятъ въ работу, другіе еще не поступили на мѣсто. Всѣ мужчины были выпивши, а нѣкоторыхъ уже пошатывало. Женщинамъ стало веселѣе, и онѣ жаловались мужчинамъ на дождь, на то, что мало приходитъ барынь нанимать ихъ; нѣкоторыя женщины даже ругали мужчинъ, что они нарочно завели бабъ Богъ знаетъ куда для того, чтобы бросить ихъ.

Стали приходить торгаши, предлагавшіе крестьянамъ фуражки, сапоги, поддевки, кафтаны. Крестьяне подержали всѣ эти вещи въ рукахъ, фуражки даже примѣряли себѣ на голову, поторговались, но ничего не купили, потому что торгаши просили дорого, да если и нравилась кому-нибудь вещь и было немного денегъ, такъ жалко было тратить ихъ. Торгаши предлагали промѣнять полушубокъ на поддевку, шапку—на фуражку, говоря, что теперь лѣто, и просили придачи. Одинъ промѣнялъ шапку на фуражку и далъ придачи десять копеекъ, другой промѣнялъ полушубокъ на поддевку и тоже далъ придачи пятнадцать коп. Торгаши отошли. Промѣнявшихъ вещи товарищи стали звать въ кабакъ дѣлать спрыски. Двое крестьянъ приглашали своихъ бабъ на Сѣнную въ кабакъ, гдѣ народу и-и ты Боже мой! и бабъ тамъ много. Но бабы въ этотъ кабакъ не пошли. Мужчины пошли на Сѣнную; половина женщинъ тоже разбрелась.

— Матушки! голубушки! Охъ, узелъ мой!..—ревѣла одна женщина, немного погодя.

Женщины посмотрѣли на свои узлы, посмотрѣли на мостовую, заглянули на столики и подъ столики, спросили торговокъ: не видали ли онѣ узла такой-то женщины—узелъ исчезъ.

— Въ рѣку не упалъ ли?

— Да онъ, что есть, и не стоялъ у рѣки. Сичасъ при мнѣ былъ.

— Эко горе, горе!.. Да ты не забыла ли на постояломъ?

— Говорятъ, при мнѣ былъ. Не видали, что ли? Охъ!.. Что я теперь дѣлать буду!

— Плохо, видно, держала.

Къ женщинамъ подошла старушка въ люстриновомъ на ватѣ салопчикѣ и въ черномъ капорѣ. Въ суетахъ и въ поискахъ узла, ее замѣтила только одна Пелагея Прохоровна и подошла къ ней.

— Ты кухарка?—прошамкала старушка.

— Кухарка.

— У кого жила?

— Я пріѣхала изъ Ярославля; у господъ жила... А у васъ что дѣлать?

— Извѣстно: убирать комнаты, мыть полы, кушанье готовить.

Старушку окружили женщины и стали напрашиваться.

— Замужемъ?—спросила Пелагею Прохоровну старушка.

— Вдова... А сколько жалованья?

— Два рубля.

— Я пожалуй согласна.

Женщины закричали, стали говорить про Пела-

гею Прохоровну всякую всячину, но старушка, взявши паспортъ, велѣла ей идти за собой. Пелагея Прохоровна перекрестилась на церковь и пошла за старушкой. Она была рада, что скоро нашла мѣсто.

XXIV.

Старушка въ салопчикѣ, за которой шла Пелагея Прохоровна, была кухмистерша съ Петербургской стороны, Анна Петровна Овчинникова. Сзади она походитъ на старую еврейку, которая съ самаго дѣтства или поднимала все тяжелыя вещи, или сидѣла, постоянно наклонившись съ высокаго стула къ низенькому столу, отчего ея позвоночный столбъ принялъ наклонное положеніе. Однако, несмотря на значительную сутуловатость, по которой ее издали узнавали постоянные обыватели Мокрой улицы, Анна Петровна, дожившая до шестого десятка лѣтъ, шла очень скоро, немножко ковыляя правой ногой, какъ будто ее кто сзади погонялъ прутикомъ. Она, часто оборачиваясь и покашливая, произносила фистулой: «не отставай! еще далеко!». У другихъ старушекъ подъ шестьдесятъ лѣтъ волоса уже сѣдые и лицо бѣложелтое; а у этой, напротивъ, лицо было бронзоваго цвѣта и лоснилось, точно она его намазала саломъ. Щеки ея не были ни очень полны, ни худощавы; носъ былъ длинный, прямой, острый, — точно она его постоянно чистила, какъ курица; ротъ маленькій, можетъ-быть оттого, что она его ужимала; ея сѣрые, тусклые глаза съ бурыми зрачками часто мигали. Къ этому надо еще прибавить, что отъ салопчика и отъ капора Анны Петровны пахло жаренымъ гусемъ, почему ее всякій бы могъ назвать, не разспрашивая, или кухмистершею, или кухаркою въ кухмистерской.

Анна Петровна шла молча и думала; Пелагея Прохоровна тоже думала. Анна Петровна думала, что теперь она спокойна вполнѣ, нашедши кухарку. Только она много назначила ей жалованья; ну, да она сумѣетъ сдѣлать такъ, что кухарка будетъ получать не больше рубля въ мѣсяцъ. Пелагея Прохоровна съ своей стороны думала о томъ: «какая эта старуха бодрая, точно бабушка Настасья Сергѣевна, которая умерла назадъ тому восемь лѣтъ. Той было слишкомъ девяносто лѣтъ, та Пугача помнила; но ходила прямо, говорила ясно и чистымъ голосомъ, а не шамкала, не хрипѣла и фистулой не говорила. Бабушка была въ большомъ почетѣ во всемъ заводѣ; она была добрая, ни съ кѣмъ не ссорилась; бывало, отца съ матерью выручала изъ бѣды. А глаза у нея были тоже сердитые. Бывало, забалуемся мы, она только взглянетъ, — мы замолчимъ... Какова-то эта? Та была родная, а я въ то время была маленькая, а теперь я большая, и къ чужой старухѣ пошла въ работу. Что бы теперь сказала про меня бабушка, Настасья Сергѣевна, если бы увидала меня, какъ я иду за этой старухой. Она бы ахнула, потому она мнѣ пророчила мужа богатаго, большое хозяйство, дюжину ребятишекъ! Господи, какъ много въ жизни можно испытать всякой всячины... Вотъ эти мужички, что работаютъ, камень разбиваютъ, тоже прежде не думали, что будутъ въ Питерѣ на богатыхъ людей работать. Они, поди, думаютъ, глядя на меня, что мнѣ лучше житье, чѣмъ имъ...»

Но напрасно кухмистерша и кухарка думали, что̀ люди про нихъ думаютъ. Никто объ нихъ ничего не думалъ, а всякій шелъ своей дорогой или дѣлалъ дѣло, думая только о томъ, какъ бы хорошо сдѣлаться вдругъ богатымъ человѣкомъ и дѣлать то, что̀ хочется.

Подошли къ Невѣ. По Невѣ плыветъ много судовъ съ лѣсомъ, камнями, барокъ съ сѣномъ, дровами. Плывутъ пароходы, у которыхъ и колесъ не видно, пароходы биткомъ набиты людьми. Множество судовъ и барокъ стоятъ у берега, прикрѣпленныя цѣпями или толстыми канатами за кольца, вдѣланныя въ гранитныя набережныя. Множество яликовъ съ пассажирами плыветъ по разнымъ направленіямъ; у спусковъ яличники предлагаютъ свои услуги перевезти черезъ Неву. «Вотъ это рѣка настоящая. А все же поменѣ нашихъ будетъ», подумала Пелагея Прохоровна, когда кухмистерша и она шли по Дворцовому мосту. Она спросила старушку, какъ называется эта рѣка. Та сказала и, ткнувъ въ пространство лѣвой рукой, проговорила:

— А тамъ море!

— Море! Ахъ бы поѣхала я по этому морю. А ты по морямъ плавала?

— Я, что есть, черезъ Неву ни разу не плавала.

— Боишься?

— Боюсь! А море я разъ пять въ году видаю, со Смоленскаго.

— А это что же, Смоленское-то?

— Кладбище такое вонъ тамъ, на Васильевскомъ острову, — сказала кухмистерша и указала рукой.

Пелагея Прохоровна стала смотрѣть на Васильевскій островъ.

— «Такъ вотъ онъ, Васильевскій-то славный островъ, что въ пѣснѣ поется. А я думала, что въ пѣснѣ все враки... Думала, какой-нибудь пьяный мастерко сочинилъ эту пѣсню», думала Пелагея Прохоровна.

Прошли мостъ, пошли по первой линіи.

— Здѣсь тоже Питеръ?—спросила Пелагея Прохоровна старушку.

— Нѣтъ, здѣсь Васильевскій островъ.

«Ахъ бы дядѣ попасть сюда! Ужъ непремѣнно сочинилъ бы съ Короваевымъ такую пѣсню, что онъ былъ на самомъ на Васильевскомъ острову». И сердце у Пелагеи Прохоровны, неизвѣстно почему, заныло.

Опять мостъ.

— Это что же! Идемъ, идемъ и конца нѣтъ. Все каки-то мосты да рѣки!—проговорила Пелагея Прохоровна, недовольная тѣмъ, что старуха ее ведетъ Богъ знаетъ куда.

— Если бы я воды не боялась, давно бы ужъ дома были. Вонъ оттоль стоитъ только въ яликъ сѣсть и черезъ полчаса дома. А то я воды боюсь. Отъ роду не плавала, — проговорила старуха. Они пошли берегомъ.

Здѣсь кухмистерша чувствовала себя уже свободнѣе и спокойнѣе. Она пошла тише, не загребала правой ногой, а шла, какъ лѣнивый конь, покачиваясь направо и налѣво. Здѣсь она была какъ дома, сняла даже съ головы капоръ — на головѣ оказался бѣлый чепчикъ съ дырочками, сквозь которыя виднѣлись начинающіе сѣдѣть волосы. Отдавши капоръ Пелагеѣ Прохоровнѣ съ приказаніемъ не измять и не испачкать его, она сняла салопчикъ и очутилась въ шелковомъ черномъ платкѣ на плечахъ и въ ситцевомъ голубомъ засаленномъ платьѣ.

Это раздѣванье удивило Пелагею Прохоровну, но она не посмѣла спросить. Старушка отдала Пелагеѣ Прохоровнѣ и салопчикъ.

— Ты его положи на плечо, да смотри не изомни!—сказала она своей новой прислугѣ.

— Барыня... А узелъ?

— И узелъ можешь держать.

Пелагея Прохоровна кое-какъ устроила свою ношу.

Преобразившись по-домашнему, Анна Петровна пошла еще тише, что-то напѣвая про себя, какъ будто воображала, что идетъ не по улицѣ, а въ своей собственной комнатѣ.

— Здравствуйте, Анна Петровна,—сказала попавшаяся на встрѣчу кухмистершѣ старушка съ платкомъ на головѣ, въ ситцевомъ платьѣ, тоже вѣроятно воображающая, что она у себя дома.

— Здравствуйте, Марья Игнатьевна! — И старушки поцѣловали другъ друга въ щеки. — Куда ходили? А я вѣдь съ Никольскаго.

— Мать Пресвятая Богородица! — проговорила Марья Игнатьевна, и неизвѣстно отчего вздрогнула, точно ее что кольнуло въ бокъ или случилось съ ней икота.

— Да, матушка моя, съ Никольскаго. Вонъ какую добыла!—И Анна Петровна кивнула головой на Пелагею Прохоровну, которая стояла недалеко отъ старушекъ и смотрѣла на нихъ.

— Неужели у насъ не нашлось?

— О! что здѣшнія! Онѣ избаловались.

— Это такъ... Только она молодая,—сказала шопотомъ Марья Игнатьевна.

— Не эдакія у меня жили... Вышколю.

— А у меня несчастіе какое: сынокъ ногу вывихнулъ пьяный.

— Господи благослови!—чуть не крикнула Анна Петровна и замигала чаще обыкновеннаго.

— Да вотъ, поди же ты! Иду къ доктору.

Старушки поговорили минутъ пять и простились, поцѣловавъ другъ друга. Немного погодя, Анна Петровна свернула въ переулокъ, потомъ въ улицу. Здѣсь на каждомъ шагу попадались ей знакомые люди, но она не останавливалась, а только отвѣчала на вопросы: «ахъ, съ Никольскаго! устала!». Черезъ десять минутъ она вошла во дворъ, въ которомъ было два деревянныхъ двухъэтажныхъ флигеля съ мезониномъ на каждомъ. На улицу кромѣ того выходило по обѣимъ сторонамъ два дома: направо — каменный трехъэтажный съ подваломъ, налѣво — деревянный съ девятью окнами безъ мезонина, на которомъ была прибита вывѣска съ надписью «школа».

Хотя Анна Петровна Овчинникова никогда не была потомственной дворянкой, но она еще въ дѣвочкахъ считала себя столбовой дворянской дочерью, несмотря на то, что отецъ ея былъ только сенатскій регистраторъ. Вѣроятно это происходило оттого, что и родители ея, и сосѣди ихъ, служа въ министерствахъ, считали себя особымъ классомъ, съ которымъ нельзя сравнять мѣщанъ и даже купцовъ, и поэтому причисляли себя къ дворянамъ. Однако, несмотря на причисленіе себя къ дворянскому сословію, большинству этихъ самохваловъ и самохвалокъ жилось гораздо хуже, нежели мѣщанамъ и купцамъ, не пренебрегавшимъ черной работой, за которую стыдно было взяться какому-нибудь чиновничку, его женѣ или дѣтямъ. Нѣкоторые чиновники имѣли на Петербургской сторонѣ свои дома, доставшіеся имъ или отъ родителей, или въ приданое; а какъ такіе домовладѣльцы имѣли большія семейства, то чиновниковъ современемъ расплодилось много и они такъ дружно сплотились на Петербургской сторонѣ около тѣхъ мѣстъ, гдѣ родились и выросли, что заманить ихъ въ другое мѣсто было очень трудно. Поэтому и Мокрая улица, населенная преимущественно канцелярскимъ людомъ, имѣетъ свой характеръ, совсѣмъ отличный отъ петербургскаго. Въ ней очень мало каменныхъ домовъ, а все больше деревянные, окрашенные желтой краскою, или охрой, которые тѣснятся другъ къ другу, такъ что съ крыши одного мезонина на крышу другого мезонина скачутъ кошки. Улица плохо вымощена, тротуаровъ не существуетъ, нѣтъ извозчиковъ, нѣтъ городовыхъ, нѣтъ даже будки. Въ ней всего одинъ фонарь, и то напротивъ гостиницы для пріѣзжающихъ. Здѣсь пахнетъ провинціей, и если бы изъ оконъ мезониновъ не видна была Нева и гранитная набережная съ каменными зданіями за Невой, то можно было бы сказать, что это не Петербургъ, а уголъ уѣзднаго города.

Утромъ чиновники въ извѣстное время идутъ толпами на службу съ портфелями, конвертами изъ синей бумаги, свертками, или безъ нихъ. Потомъ, въ извѣстное тоже время, чиновницы и вообще дамы дворянскаго класса идутъ въ лавочку за провизіей; послѣ этого на улицѣ пусто. Около пяти и шести часовъ вечера чиновники, измученные и уставшіе, бредутъ по домамъ; нѣкоторые заходятъ въ заведеніе «распивочно и на выносъ», откуда или выходятъ сами, или ихъ выводятъ съ руганью жены. До десяти часовъ видится жизнь въ этой улицѣ; чиновники и ихъ семейства сидятъ у оконъ, поютъ пѣсни и наигрываютъ на гитарахъ; нѣкоторые сидятъ на улицахъ на лавочкахъ въ халатахъ; нѣкоторые, сидя у растворенного окна, что-то пишутъ; нерѣдкость также въ хорошую погоду увидѣть нѣсколькихъ молодыхъ чиновниковъ, играющихъ въ дворахъ или на улицѣ въ бабки или городки. Въ десять часовъ все смолкаетъ, гаснутъ огни въ домахъ, запираются ставни оконъ, настаетъ тишина, прерываемая только лаемъ множества собакъ.

Даже въ климатическомъ отношеніи Мокрая улица не похожа на петербургскія улицы; такъ, здѣсь зимой несравненно холоднѣе и больше снѣгу, чѣмъ въ Петербургѣ, гдѣ снѣгъ постоянно сгребаютъ и увозятъ прочь, гдѣ иногда цѣлый мѣсяцъ ужъ ѣздятъ на колесахъ, тогда какъ въ Мокрой улицѣ еще хорошая ѣзда на саняхъ. При поднятіи воды въ Невѣ, Мокрую улицу заливаетъ раньше другихъ, такъ что изъ нея въ Неву можно отправиться прямо въ лодкѣ или въ яликѣ. И все-таки здѣшнему воздуху Петербургъ можетъ позавидовать: здѣсь меньше мретъ народа, женщины доживаютъ до семидесяти и больше лѣтъ, и если дѣтямъ не передана родителями какая-нибудь болѣзнь, они растутъ толстыми и здоровыми.

Поэтому немудрено, что Анна Петровна родилась, выросла и прожила до шестидесяти лѣтъ въ Мокрой улицѣ, гдѣ прежде у родителей ея былъ свой домъ, который послѣ смерти отца, вслѣдствіе крайней нужды, мать принуждена была продать, а потомъ поселиться на квартирѣ въ той же Мокрой улицѣ и заниматься шитьемъ. Анна Петровна была третьею дочерью, но успѣла влюбить въ себя молодого чиновника раньше прочихъ сестеръ и, вышедши замужъ, поселилась съ мужемъ также въ Мокрой улицѣ. Ни она, ни супругъ ея даже и въ помышленіяхъ не имѣли не только жить гдѣ-нибудь въ Гороховой или въ Офицерской улицѣ Петербурга, но даже переселиться въ другую улицу Петербургской стороны. Такое переселеніе было бы сочтено сосѣдями за расколъ или за чрезмѣрную гордость. Обитатели Мокрой улицы достовѣрно знаютъ, что мужъ Анны Петровны былъ варваръ, какихъ свѣтъ не производилъ. Хотя такихъ варваровъ было много въ Мокрой улицѣ, но со стороны казалось, что этотъ варваръ былъ почище другихъ варваровъ. Въ сущности однакожъ онъ былъ даже нѣсколько скромнѣе большинства чиновниковъ, и такое названіе къ нему пришпиливалось не совсѣмъ кстати. Дѣло въ томъ, что онъ былъ первыя пять лѣтъ для супруги ангеломъ, но на шестой годъ, когда Анна Петровна родила плаксивую дѣвочку, ангелъ сталъ приходить домой навеселѣ. Сперва супруга думала, что ангелъ веселъ потому, что у него есть дочь, или потому, что его сегодня похвалили на службѣ; ей и въ голову не приходило, что ангелъ выпиваетъ, такъ какъ онъ послѣ выпивки обыкновенно закусывалъ или гвоздикой, или сургучемъ, чтобы не пахло водкой. Каково же было ея удивленіе, когда, въ день получки жалованья, «ангелъ» пріѣхалъ домой на извозчикѣ до того пьяный, что она должна была втащить его въ квартиру съ извозчикомъ. Но и этого мало: у ангела денегъ оказалось на лицо всего трехрублевая бумажка и нѣсколько мѣдяковъ.

Съ этихъ поръ жизнь пошла нехорошая: мужъ пьянствовалъ часто, жена его била и мало-по-малу истрачивала приданыя деньги; сосѣдки говорили про Овчинникова всякую всячину и не могли понять, отчего онъ сталъ пьянствовать хуже и хуже, закладывалъ свою шинель, вицъ-мундиръ и даже сапоги, тащилъ въ залогъ все, что лежало плохо. Жена выкупала всѣ эти вещи, ходила къ ворожеямъ, поила мужа какими-то лекарствами, отъ которыхъ онъ хворалъ по мѣсяцамъ, но пьянствовать все-таки не переставалъ. Такимъ образомъ супруги прожили пятнадцать лѣтъ. На шестнадцатомъ Овчинникова уволили въ отставку; Анна Петровна стала лечить его, и залечила до того, что онъ померъ.

Анна Петровна осталась вдовой губернскаго секретаря съ двумя дочерьми, Вѣрой и Надеждой. Несмотря на нехорошую жизнь съ пьяницей-мужемъ, она все-таки была женщина красивая и здоровая, и могла бы выйти замужъ, но ей уже опротивѣла замужняя жизнь, тѣмъ болѣе, что и въ другихъ семействахъ она видѣла то же, что творилось и съ нею въ замужествѣ. Да за нее впрочемъ никто и не сватался, вѣроятно потому, что у нея было двое дѣтей и она жила бѣдно, пріобрѣтая деньги шитьемъ. Сестра ея, жившая на Пескахъ и не имѣвшая дѣтей, которыя умирали черезъ три или пять мѣсяцевъ по рожденіи, звала Анну Петровну жить къ себѣ. Но Анна Петровна не могла у ней прожить и съ недѣлю: ей было скучно обо всей Петербургской сторонѣ, о Мокрой улицѣ, гдѣ ей казался и воздухъ чище, и жизнь проще. «Тамъ всѣ свои, тамъ просто; здѣсь хоть и чиновники живутъ, но далеко хуже нашихъ, и другъ съ другомъ они не ладятъ. Здѣсь поживетъ чиновникъ съ мѣсяцъ и уѣдетъ прочь, а у насъ этого нѣтъ. У насъ и одѣваться хорошо не надо, у насъ и важныхъ людей не встрѣтишь; а здѣсь одѣнься-ка худо—осмѣютъ». Такъ думала Анна Петровна и воротилась въ Мокрую улицу.

Пришлось переѣхать на другую квартиру, потому что прежняя была и велика для вдовы, и дорога. Заложила Анна Петровна кой-какія цѣнныя вещи, доставшіяся ей въ приданое или купленныя въ первый годъ замужества, наняла квартиру въ мезонинѣ, въ три комнаты съ кухней, и прилѣпила на воротахъ бумажку съ надписью: «отдаются комнаты со столомъ и небельюю». Сдѣлавши это, она нѣсколько дней по утрамъ выходила за ворота, останавливала чиновниковъ, заговаривала съ ними и просила ихъ найти ей хорошихъ жильцовъ. Но жильцы не являлись. Поднялись толки, что вѣрно у Анны Петровны много накоплено денегъ, что она нанимаетъ большую квартиру безо всякаго разсчета, тогда какъ ей достаточно было бы съ дѣвочками и одной комнаты, которую она могла бы нанять у любой чиновницы-вдовы; нѣкоторые даже стали поговаривать, что Анна Петровна, должно быть, поддѣла любовника изъ Петербурга, который непремѣнно ѣздитъ къ ней по ночамъ и котораго вѣроятно она хочетъ женить на себѣ. За Анной Петровной стали слѣдить, но ничего не услѣдили: она попрежнему шила, уходила съ шитьемъ и за шитьемъ, была со всѣми любезна и на вопросы: «какъ живется?» постоянно отвѣчала: «помаленьку! Богъ грѣхамъ терпитъ». Но въ самомъ дѣлѣ она едва сводила приходъ съ расходомъ, и ей приходилось къ концу мѣсяца нести что-нибудь въ закладъ. Была у нея пріятельница Степанова, которая жила тоже на Петербургской, только въ другомъ концѣ. Эта госпожа имѣла кухмистерскую секретно, то есть не имѣла

ни вывѣски, ни свидѣтельства на этотъ родъ занятія. Отъ нея Анна Петровна узнала, что вообще кормить небогатыхъ людей выгодно, если только ихъ много и они хорошо платятъ. За пищу она деньги выручаетъ, но комнаты или вообще квартира сидитъ у нея на шеѣ, потому что или стоятъ пустыя все лѣто, когда студенты уѣзжаютъ домой, или въ нихъ живутъ не подолгу люди бѣдные, съ которыхъ иногда совѣстно просить денегъ.

Анна Петровна была женщина сообразительная. Въ каждое изъ ея посѣщеній она что-нибудь усвоивала и дома записывала на бумажку, какъ нужно приготовить изъ такихъ-то припасовъ супу на тридцать человѣкъ, какъ изжарить мясо такъ, чтобы его хватило на трое сутокъ и т. п. И ей сильно захотѣлось сдѣлаться самой кухмистершей. Но тутъ встрѣтилось большое затрудненіе: чтобы готовить обѣды—нужна работница; нуженъ мальчикъ или дѣвочка, чтобы разносить кушанья, — не станетъ же она заставлять своихъ дочерей разносить кушанья, не для того онѣ родились! Потомъ нужна посуда, нужны мѣдные судки. И на все это нужны деньги. Послѣ нѣсколькихъ колебаній, она рѣшилась попросить у мужа своей сестры сто рублей, но онъ далъ только пятьдесятъ подъ расписку съ тѣмъ, чтобы она ихъ уплатила въ теченіе года. На половину этихъ денегъ Анна Петровна купила держаной посуды, наняла кухарку и прилѣпила на воротахъ полъ-листа бумаги, на которомъ крупными буквами было написано: «чиновница Овчинникова задаетъ кушанья на домъ или у себя спросить объ цинѣ въ мезонинѣ квартиры № 12 у вдовы кухмистерши Анны Петровны Овчинниковой». Несмотря на эту безграмотную записку, прохожіе чиновники, замѣтивъ на воротахъ лоскутокъ бумаги съ большимъ количествомъ буквъ, останавливались, читали, чесали себѣ затылки и подбородки и разсуждали: не выгоднѣе ли будетъ имъ въ самомъ дѣлѣ получать кушанья отъ вдовы Овчинниковой? Но пока они думали и разсуждали объ этомъ, чиновницы, идя въ лавки и на рынокъ, тоже успѣли прочитать эту надпись и отъ удивленія перешли къ негодованію, потому что вдова Овчинникова срамитъ ихъ своимъ новымъ занятіемъ.

— Жаль, что она кухаркой не назвала себя! Этого еще недоставало!—кричали чиновницы чуть не во все горло. Имъ было досадно не то, что вдова Овчинникова будетъ держать нахлѣбниковъ, но зачѣмъ она назвала себя именемъ кухмистерши, которое идетъ только къ нѣщанкѣ. Во-вторыхъ, имъ было досадно, что вдова Овчинникова, до сихъ поръ жившая со всѣми откровенно, какъ говорится, душа въ душу, вдругъ письменно на всю улицу заявляетъ, что она отдаетъ кушанья на домъ или у себя: стало быть, этимъ самымъ заявленіемъ она становится къ нимъ въ непріятельскія отношенія, хочетъ отбить у нихъ не только хорошихъ нахлѣбниковъ, но и квартирантовъ. Вся женская половина Мокрой улицы вооружилась противъ Анны Петровны, а одна чиновница хотѣла даже сорвать бумагу съ воротъ, но ее удержали сосѣди. Хотѣли было отправить къ ней депутацію, чтобы потребовать объясненія, но рѣшили подождать мужей и квартирантовъ для того, чтобы посовѣтоваться съ первыми и увѣрить послѣднихъ, что все написанное на бумагѣ надъ воротами дома Плошкина есть плодъ пылкаго, но глупаго воображенія вдовы Овчинниковой, которая, какъ надо полагать, пустилась на аферу и думаетъ обобрать простоватыхъ молодыхъ людей.

Однако, какъ ни старались хозяйки-чиновницы увѣрить своихъ квартирантовъ въ этомъ, и въ томъ, что вдова Овчинникова табакъ нюхаетъ, а табакъ легко можетъ попасть въ супъ и въ жаркое, молодежь захотѣла попытать, не дешевле ли у вдовы Овчинниковой обѣдъ. И дѣйствительно, Овчинникова назначила цѣну дешевле другихъ, и въ тотъ же день обѣдало у нея десять чиновниковъ, которые нашли кушанья превосходными. Потомъ четверо наняли у нея двѣ комнаты и дали задатки, четверо согласились обѣдать помѣсячно и дали тоже задатки по рублю; остальные просили подождать до полученія жалованья. Такой успѣхъ Анны Петровны вывелъ изъ терпѣнія чиновницъ, и онѣ рѣшились сразиться съ ней.

Утромъ Анна Петровна шла въ Сытный рынокъ за провизіей. За ней слѣдовала и кухарка съ кулькомъ. Попадаются на встрѣчу двѣ чиновницы.

— Вы что же это такое дѣлаете? — спросила ее одна изъ нихъ сердито, не поздоровавшись даже съ нею.

— Что я такое дѣлаю?—спросила въ свою очередь спокойно Анна Петровна.

— А это какъ у васъ на бумагѣ написано?

— И не стыдно вамъ?—прервала другая и закачала головой.

— Это вы насчетъ чего же спрашиваете?

— А на счетъ того, что вы на мошенничество пустились.

— Не горячитесь, Софья Сергѣевна!..

— Я вотъ что хочу спросить у васъ, Анна Петровна: пристало ли благородной дамѣ называться кухмистершей, и на какомъ основаніи вы сманиваете къ себѣ нашихъ жильцовъ и нахлѣбниковъ?

— На томъ основаніи, во-первыхъ, что, по моему понятію, нѣтъ стыда въ томъ, что я называю себя кухмистершей. Ужъ это дѣло мое, а не ваше. Во-вторыхъ, я женщина благородная, и мнѣ съ дѣтьми не хочется жить у кого-нибудь въ углу или быть прихлебательницей богатыхъ родственниковъ, какъ это нѣкоторыя благородныя дамы дѣлаютъ. Что же касается до того, что мнѣ Богъ далъ нахлѣбниковъ, то, значитъ, я умѣю вести дѣло и не беру такихъ цѣнъ, какъ нѣкоторыя.

— Позвольте... вы насъ-то къ чему называете нѣкоторыми? Вы этимъ словомъ всѣхъ благородныхъ хозяевъ обижаете.

— Извините... Я иду въ рынокъ... Мнѣ нужно кушанья готовить.—И Анна Петровна пошла.

Какъ вообще всякое новое дѣло въ глухой мѣстности находитъ у неразвитыхъ людей отпоръ, такъ и Анна Петровна въ теченіе двухъ лѣтъ много перенесла непріятностей отъ бывшихъ своихъ подругъ, которыя теперь стали ей врагами. Онѣ вся-

чески старались напакостить ей и словомъ, и дѣломъ: не было человѣка, который бы не слыхалъ, что вдова Овчинникова нехорошая, разгульная женщина, не было лавки, въ которой бы лавочники не были прошены не давать ей ничего. Всѣ эти переговоры и сплетни передавались Аннѣ Петровнѣ дворниками, кухарками, лавочниками въ преувеличенномъ видѣ; чиновницы перестали ей кланяться, точно она только-что пріѣхала на Петербургскую; дѣвицы, завидѣвъ кухмистершу, хихикали и, сталкиваясь съ нею, отворачивали лицо въ сторону; однимъ словомъ, вся Мокрая улица и почти весь этотъ уголъ Петербургской былъ дурного мнѣнія объ ней, но Анна Петровна помалкивала, хоть на душѣ у нея, какъ говорится, кошки скребли, и проходила мимо врага, не только не кидаясь на него собакой, но даже не глядя на него.

Однако, несмотря на то, что въ два года Анна Петровна сумѣла прославиться чуть ли не во всемъ чиновномъ мірѣ Петербургской стороны сплетнями и дешевымъ, но сытнымъ столомъ, прибыли же она получала мало, потому что нахлѣбники навертывались всякіе: задатокъ отдастъ, пообѣдаетъ двѣ недѣли, наѣстъ на два рубля въ долгъ и нейдетъ больше; такихъ же нахлѣбниковъ, которые бы платили впередъ за мѣсяцъ, было немного. А тутъ еще новая бѣда; вещи, что̀ отданы въ залогъ, пропадаютъ; мужъ сестры, вмѣсто пятидесяти рублей, уже проситъ шестьдесятъ рублей, а къ концу второго года пожалуй присчитаетъ еще лишнихъ десять рублей; мяснику должна пятнадцать рублей; кухарка проситъ жалованье за полгода. Думала, думала Анна Петровна, и выдумала штуку: идти по департаментамъ къ экзекуторамъ просить долги чиновниковъ. Результатъ этой ходьбы вышелъ тотъ, что къ новому году экзекуторы вычли изъ пособій и наградъ чиновниковъ должныя Аннѣ Петровнѣ деньги и обѣщались не только рекомендовать хорошихъ нахлѣбниковъ, но и впередъ вычитать съ нихъ долги, если такіе окажутся! Анна Петровна расплатилась съ долгами, даже выкупила нѣкоторыя вещи. Но теперь противъ нея вооружились должники, съ которыми она поступила такъ безцеремонно. Но, несмотря на это, нахлѣбники находились, и дѣла ея мало-по-малу улучшались, а квартиранты къ шестому году ея кухмистерства успѣли уже обучить ея дочерей грамотѣ.

Мало-по-малу старые люди успѣли умереть; умерло нѣсколько чиновницъ-подругъ, которыя по началу ея кухмистерства сплетничали на нее, молодежь успѣла выйти замужъ и современемъ все пришло въ такой порядокъ, что какъ-будто Мокрая улица немыслима безъ кухмистерши, и теперь Анна Петровна для всей Мокрой улицы такое же существо, какъ и всякая другая сосѣдка.

Теперь Анна Петровна въ почетѣ въ этой улицѣ и въ славѣ чуть ли не на всей Петербургской сторонѣ, гдѣ ее знаетъ каждая пожилая чиновница. Въ почетъ же Анна Петровна попала года съ три назадъ, съ тѣхъ поръ, какъ стала отдавать подъ залогъ деньги.

Какъ всякій человѣкъ, понаторѣвшій въ одномъ какомъ-нибудь занятіи, старается еще больше извлечь изъ него выгоды, постепенно сокращая расходы, такъ и Анна Петровна, имѣя постоянныхъ нахлѣбниковъ у себя и въ другихъ квартирахъ, мало-по-малу довела свое кухмистерство до того, что стала кормить всѣхъ очень субтильно. Прежде она всѣмъ давала хлѣба, а жильцы ея получали даже ужинъ; теперь все это оказалось невыгоднымъ. Ссылаясь на дороговизну хлѣба и другихъ припасовъ, она значительно сократила обѣдъ и въ то же время плату за него увеличила на цѣлые два рубля въ мѣсяцъ.

Казалось бы, что при такомъ положеніи дѣлъ, у Анны Петровны должно быть много денегъ, однако денежныя ея дѣла далеко не въ цвѣтущемъ положеніи. Не говоря уже о мальчикѣ, разносящемъ кушанья въ судкахъ по домамъ и взятомъ ею у мѣщанки-матери назадъ тому шесть лѣтъ почти даромъ для того только, чтобы пріучать его къ поварской части, не говоря объ этомъ мальчикѣ, которому она не хочетъ платить, ссылаясь на какія-то условія, заключенныя домашнимъ образомъ съ умершей уже мѣщанкой, — она должна и въ мясную лавку, и въ овощную, въ которыя перезаложила на время заложенныя ей чиновницами вещи. Слушая сѣтованія лавочниковъ о томъ, что Анна Петровна день за днемъ все беретъ въ долгъ и если выплатитъ пять рублей, то заберетъ на пятнадцать, обитатели Мокрой улицы говорятъ, что она вѣроятно деньги бережетъ для того, чтобы выдать младшую дочь за майора, который уже два года, какъ объявленъ женихомъ Надежды Александровны.

XXV.

Во дворѣ окружили Анну Петровну сидѣвшіе на крыльцѣ и игравшіе мальчики и дѣвочки отъ 3-хъ до 10-ти лѣтъ. Они кричали:

— Бабушка, гостинцевъ! Бабушка въ рынокъ ходила!

— Ну, ну... отвяжитесь. Не та пора, чтобы гостинцы раздавать! — и она, кое-какъ освободившись отъ повиснувшихъ на ея платьѣ дѣтей, повела за собою кухарку въ квартиру.

Былъ хотя и вечеръ, но еще свѣтло. Зато на лѣстницѣ, по которой онѣ поднимались, была совершенная ночь, такъ что Пелагея Прохоровна едва не заблудилась въ переходахъ. Лѣстница эта была не высока; на площадкѣ было сдѣлано слуховое окно. По краямъ надъ лѣстницей сдѣланы перила около самой крыши, справа и слѣва протянуты бичевки, на которыхъ сушится бѣлье.

Въ кухнѣ съ небольшой русскою печью и небольшой плитой, съ полками, на которой лежала посуда и судки, и пропитанной запахомъ жареныхъ гусей и сосисокъ, около большого стола сидѣли дочери Анны Петровны, изъ которыхъ Вѣрѣ было годовъ съ тридцать, а Надеждѣ годовъ двадцать восемь. Вѣра была дѣвушка здоровая, румяная. Замѣтно было сразу, что она любитъ наряжаться и заботится, чтобы у ней и платье было въ порядкѣ, и воротничекъ на шеѣ не былъ грязенъ и

измятъ, и волоса не сбиты. Взглядъ у нея былъ гордый, смѣлый и лукавый, и лицо принимало въ нѣсколько минутъ различныя выраженія, точно она воображала себя актрисой. Другая сестра, Надежда, была худощава, и хотя сидѣла въ ситцевомъ капотѣ съ широкими рукавами и въ кринолинѣ, но это не придавало ей полноты. Лицо ея было блѣдно, съ небольшимъ количествомъ веснушекъ, но привлекательно; каріе ея глаза выражали не то тоску, не то покорность; темнорусые волосы немного растрепались, сѣтка сползла на бокъ. Она сидѣла нагнувшись къ работѣ и торопливо шила. Около печки, на лавкѣ, сидѣлъ мальчикъ, на видъ годовъ десяти, съ худощавымъ лицомъ, запачканнымъ до того, что, казалось, онъ не мылся въ банѣ цѣлый годъ или только-что пришелъ съ фабрики, гдѣ работалъ недѣлю. Его черные волосы лоснились, черные глаза смотрѣли со злостью то на Вѣру, то на Надежду. На немъ былъ надѣтъ тиковый халатъ, весь пропитанный саломъ, опоясанный ремнемъ и застегнутый на воротѣ на крючокъ.

— Вонъ взяла разиню, а она тамъ заблудилась,— сказала входя Анна Петровна.

— Неужели? Въ коридорѣ заблудилась?—проговорила Вѣра, смѣясь.

— Налей-ка воды! — сказала хозяйка повелительно кухаркѣ.

— А гдѣ у те ковшикъ-то?

Вѣра хихикнула надъ чѣмъ-то.

— Ты не должна говорить «у те», «у те»! Что это за слово? Ты должна говорить у васъ, потому что ты у господъ живешь!—проговорила наставительнымъ голосомъ Анна Петровна.

— Давно Петръ Иванычъ легъ спать?—спросила она дочерей.

— Ужъ часъ будетъ. Онъ изъ маскараду пришелъ.

— Ничего не принесъ?

— Вонъ Надѣ катушку нитокъ принесъ.

Надежда покраснѣла.

— Экая скряга!—сказала Анна Петровна.

Минутъ пять всѣ молчали. Въ кухнѣ было тихо, только мальчикъ фыркалъ носомъ, да Анна Петровна плескала водой; изъ сосѣдней комнаты слышался храпъ.

— Много ли было сегодня?—опять спросила Анна Петровна, обращаясь къ дочерямъ.

— Да все тѣ же. Мясоѣдовъ съѣзжаетъ отъ насъ,—сказала Вѣра и взглянула на сестру.

Щеки Надежды покраснѣли и она еще ниже нагнулась.

— Ну, и съ Богомъ. И такъ надоѣлъ со своей скрипкой. Я ему давно хотѣла отказать, да только ради бѣдности держала.

— Онъ, мамаша, вовсе не бѣденъ,—проговорила робко, но съ замѣтнымъ волненіемъ Надежда.

— Ну, это еще неизвѣстно.

— У него всегда есть деньги, и онъ всегда трезвый.

— Ну, ужъ!.. Все-таки пусть съѣзжаетъ. Не забыть мнѣ, какъ онъ однажды нагрубилъ мнѣ за то, что я не велѣла ему пилить въ то время, когда Петръ Иванычъ спалъ.

— Петръ Иванычъ не въ свою квартиру пришелъ.

— Все-таки онъ намъ близокъ.

— Я бы на вашемъ мѣстѣ давно ему дверь показала.

— Что такое?—строго спросила Анна Петровна.

— То, что онъ мазурикъ.

Анна Петровна подошла къ Надеждѣ и ударила ее по щекѣ ладонью.

— Мамаша,—проговорила Вѣра, вставъ и подойдя къ матери, которая собиралась влѣпить Надеждѣ другую оплеуху.

— Ахъ ты, негодная!.. Человѣкъ платитъ намъ деньги, сватается за васъ... А она... Что, мнѣ долго еще кормить-то васъ? — проговорила запальчиво Анна Петровна, ежеминутно мигая.

— Я сама себѣ зарабатываю хлѣбъ, — начала Надежда.

— Молчать!.. Сука!..

Надежда заплакала; Анна Петровна присѣла на стулъ, подперла лѣвую щеку рукой и стала ворчать. Это ворчаніе заключалось въ томъ, что у нея дочери хотя и дворянки, но дѣвицы очень неблагодарныя, грубыя, какъ мужички. Иныя давно бы уже успѣли завлечь такого жениха, какъ Петръ Иванычъ, и выйти за него замужъ, а онѣ заставляютъ Петра Иваныча ждать, тянутъ время, говорятъ про него Богъ знаетъ какія вещи, чего въ старые годы и думать даже было непозволительно. Пока она ворчала вполголоса, дочери молчали, точно она говорила не имъ и не объ нихъ, точно все это имъ было уже нѣсколько разъ говорено. Надежда не плакала, но по лицу ея замѣтно было, что она, если бы было можно, вскочила бы и убѣжала; Вѣра шила по прежнему, и по глазамъ ея замѣтно было, что она что-то соображала.

Въ кухню вошелъ молодой человѣкъ съ темнорусыми волосами, съ маленькими усами, съ лицомъ, изобличавшимъ въ немъ чахоточнаго человѣка. На немъ надѣтъ былъ красный кашемировый халатъ.

— Потрудитесь поставить самоваръ,—сказалъ онъ Аннѣ Петровнѣ.

Та приказала Пелагеѣ Прохоровнѣ поставить самоваръ и вѣжливо спросила молодого человѣка:

— Вы, я слышала, съѣзжаете?

— А! уже это довели до вашего свѣдѣнія... Да, мнѣ казенная квартира вышла по жребію.

— А! жаль! человѣкъ вы хорошій!

— Благодарю за комплиментъ. Мнѣ и самому не хотѣлось съѣзжать по нѣкоторымъ причинамъ...— Онъ кашлянулъ въ кулакъ и взглянулъ на Надежду Александровну, щеки которой покраснѣли.

— Кухарку изволили нанять?—спросилъ молодой человѣкъ, которому, какъ видно, хотѣлось посидѣть въ кухнѣ.

— Да, какъ видите. А ты еще здѣсь?—обратилась вдругъ хозяйка къ мальчику, точно этотъ мальчикъ до сихъ поръ не существовалъ въ кухнѣ.

— Куда жъ я пойду безъ паспорта?—проговорилъ мальчикъ рѣзко-охриплымъ голосомъ, который

изобличалъ въ немъ девятнадцати-лѣтняго мальчугана, а не десяти-лѣтняго.

— Слышите, какъ отвѣчаетъ? — сказала Анна Петровна жильцу съ удивленіемъ.

— Сс! Да, онъ немного грубъ.

— Нѣтъ, онъ постоянно грубъ. Я бы его ни одной минуты не держала у себя, да надо кухарку познакомить съ господами! вѣдь она не знаетъ, куда нужно носить кушанье.

— Такъ... такъ,—замѣтилъ чиновникъ.

Чиновнику говорить было не о чемъ. Онъ было вынулъ изъ бокового кармана папиросницу, но только повертѣлъ ее въ рукахъ. Анна Петровна учила кухарку, какъ ставить самоваръ; Надежда нагнулась еще ниже къ работѣ и точно боялась поднять голову. Вѣра нѣсколько разъ поправляла ладонями свои волосы и важно взглядывала на чиновника.

— Ну... я пойду. До свиданія!—сказалъ вдругъ чиновникъ и ушелъ. Черезъ пять минутъ онъ въ своей комнатѣ настраивалъ скрипку.

Когда онъ ушелъ, Вѣра Александровна вдругъ захохотала.

— Вотъ образованность! — проговорила она сквозь смѣхъ.—Ты, Надя, замѣтила, что онъ прищелъ въ туфляхъ и на правой ногѣ у него туфля разодравши?

— Очень нужно мнѣ замѣчать! — сказала та сердито.

— Ахъ ты наказанье! Опять запилилъ!—проговорила отчаяно Анна Петровна и вскочила на ноги.—Кухарка! Пойди-ка, скажи ему, чтобы онъ не игралъ,—сказала она Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ это приказаніе показалось страннымъ, и она подумала сперва, что ея хозяйка дуритъ.

— Ну, что жъ ты стоишь? двадцать разъ тебѣ, что ли, надо приказывать?

— Да какъ,—начала было Пелагея Прохоровна, но въ это время что-то затрещало въ сосѣдней комнатѣ, и оттуда вышелъ майоръ.

Если бы этому майору пришла фантазія нарядиться въ башкирскій малахай и сѣрый войлочный зипунъ, опоясавъ его ремнемъ и заткнувъ за ремень нагайку, никто бы въ немъ не узналъ русскаго человѣка; онъ даже и теперь, въ своемъ майорскомъ сюртукѣ, походилъ скорѣе на отъѣвшагося кондуктора желѣзной дороги изъ башкиръ. Онъ вошелъ въ кухню, тряхнулъ правой рукой, заглянулъ на полку однимъ глазомъ, нюхнулъ и сѣлъ на стулъ, растопыривъ ноги и сдѣлавъ руки фертомъ.

— Славно выспался,—проговорилъ онъ охриплымъ голосомъ и уставилъ на Вѣру глаза, точно бульдогъ.

— Я думаю, этотъ прохвостъ помѣшалъ со скрипкой?

— А!—промычалъ майоръ, вопросительно повернувъ голову и уставивъ глаза на Анну Петровну.

Въ этомъ взглядѣ такъ и замѣчалось, что майоръ не любилъ часто ворочать голову. Анна Петровна повторила свои слова.

— Ну, дакъ что жъ? Пусть пилитъ... Мнѣ какое дѣло?—проговорилъ нехотя майоръ.

Всѣ молчали. Дѣвицы, казалось, тяготились бульдожьими глазами майора; майоръ сопѣлъ.

— Вы что же удрали отъ меня? — спросилъ вдругъ майоръ, глядя на Вѣру.

— Еще бы не уйти! Вы напились пива-то и насъ лѣзете угощать,—сказала Надежда.

— А! Угощать, говорите, лѣзу... А!—улыбаясь, говорилъ майоръ.

— Бутылокъ десять, кажется, выпили. Колька! сколько ты покупалъ бутылокъ?—спросила мальчика Вѣра. Майоръ тоже повторилъ этотъ вопросъ.

— Только восемь; а въ прошлый я шесть разъ бѣгалъ; бутылокъ двадцать выпили, — отвѣтилъ мальчикъ.

— Ахъ ты!.. Ты съ пивомъ и ариѳметикѣ выучился!

— Ну, что вы тутъ сидите! Идите въ комнату! — сказала Анна Петровна.

— А надо еще пива купить! не купили?

— Нѣтъ.

— Что! Брр!!.. Васъ все нужно учить...

— Ну-ну, идите-ка въ комнату.

— Ой!.. А я еще и не пойду одинъ-то... Вы здѣсь, и я здѣсь; вы тамъ, и я тамъ; гдѣ вы, тамъ и я,—проговорилъ майоръ, мотнувъ головой, и захохоталъ.

— Ну, а вы-то что глаза тутъ портите! Ужъ темно становится.

— Да, въ жмурки можно играть,—проговорилъ майоръ, всталъ, махнулъ рукой, поглядѣлъ однимъ глазомъ на полку и заковылялъ въ коридорчикъ.

Дѣвицы пошли за нимъ; Анна Петровна пошла къ жильцу унимать, чтобы не пилилъ на скрипкѣ.

— Экая махина!—проговорила Пелагея Прохоровна, когда въ кухнѣ остались мальчикъ и она.

— Здоровъ! Этта какъ-то сказалъ Надежду Александровну, такъ цѣлый мѣсяцъ она провалялась.

— Отецъ, что ли, ихной?

— Отецъ!.. Любовникъ ейной!

— Что ты врешь?!

— Я правду говорю, не маленькій. Слава Богу, мнѣ девятнадцатый годъ.

— Охъ ты, хвастуша!—Пелагея Прохоровна захохотала.

— Помереть сейчасъ... У меня и невѣста есть.

И Пелагея Прохоровна захохотала пуще прежняго.

Вошла хозяйка.

— Это что за смѣхъ! Ужъ не любезничаете ли вы?

— Да вонъ онъ говоритъ, ему девятнадцатый годъ и невѣста есть!—проговорила смѣясь Пелагея Прохоровна.

— Вотъ какъ!—И Анна Петровна захохотала и со смѣхомъ пошла въ комнату, откуда пришли вмѣстѣ съ нею майоръ и дочери ея.

— Невѣста, говоришь, есть?—проговорилъ хохоча майоръ, поднявъ мальчика.

— Что жъ такое?

— И свадьба скоро?

— Не по вашему.

— Не по-вашему, говоришь? Молодецъ! Умни-

ца!.. Женишокъ!!! Скажите! А мы и не знали, что у насъ женихъ есть? Кто же твоя невѣста?

— Это ужъ мое дѣло.

— Конечно! Конечно! Про это не говорятъ... Скажите пожалуйста! А! Брр!.. И приданое есть?.. Ахъ ты, каналья!

Мальчикъ рванулся и выскочилъ въ сѣни. Майоръ минуты двѣ держалъ руку въ томъ же положеніи, какъ онъ ею поддерживалъ мальчика. Онъ глядѣлъ въ потолокъ, тогда какъ Анна Петровна побѣжала къ сѣни догонять мальчика. Дѣвицы хохотали. Но больше всѣхъ хохотала Пелагея Прохоровна, которую чрезвычайно смѣшила вся фигура майора.

— Каковъ?! Брр!!. Скажите!—сердито говорилъ майоръ.

— Выскочилъ!—говорила смѣясь Вѣра.—А еще хвастались: шашкой по десяти человѣкъ сразу въ Польшѣ убивали!

— Я!!—проговорилъ запальчиво майоръ и двинулся.

Дѣвицы взвизгнули и убѣжали въ комнату. Майоръ заковылялъ за ними. Нѣсколько минутъ изъ комнаты слышался хохотъ дѣвицъ и визгъ Вѣры Александровны.

Пришелъ тотъ жилецъ, который просилъ самоваръ.

— Что же самоваръ?

— Ой, баринъ, тутъ не до самовару... Тутъ у насъ комедія; охъ ты, Господи!—хохотала Пелагея Прохоровна.

— Ну, подай самоваръ!

Пришла Анна Петровна, запыхавшись, и объявила, что мальчишка исчезъ.

Майоръ сидѣлъ у Анны Петровны до двухъ часовъ. Сперва онъ игралъ въ карты съ Вѣрой и Надеждой, потомъ выпилъ четыре бутылки пива и пѣлъ непонятные для Пелагеи Прохоровны романсы. Сѣли опять играть въ карты; но майоръ скоро заспорилъ, обругалъ всѣхъ сволочами, уронилъ стулъ и ушелъ, грозя всѣмъ перебить скулы. Чахоточный жилецъ еще послѣ чаю ушелъ, сказавъ, что онъ сегодня домой не придетъ, а у другого жильца было двое гостей, для которыхъ Пелагея Прохоровна два раза бѣгала въ кабакъ за водкой, и которые, попѣвъ и пошумѣвъ немного, скоро уснули въ комнатѣ жильца, гдѣ попало.

XXVI.

Майоръ Петръ Иванычъ Филимоновъ сталъ извѣстенъ въ Мокрой улицѣ года съ четыре, съ тѣхъ поръ, какъ онъ пересмотрѣлъ въ этой улицѣ нѣсколько комнатъ, проклиная Большую Садовую, Гороховую, обѣ Подъяческія, всѣ три Мѣщанскія улицы за трескъ, за прокислый воздухъ, за то, что тамъ онъ большею частью нарывался на нѣмокъ-хозяекъ, которыя будто бы лупили съ него большія деньги и не уважали его майорскую особу. Онъ водворился въ мезонинѣ, нанимаемомъ вдовою-полковницею, доживавшею въ то время седьмой десятокъ. Комната у майора была большая, свѣтлая; кровать его была занавѣшена; окна выходили въ огородъ, и поэтому онъ могъ вволю наслаждаться пѣніемъ пѣтуховъ, мяуканьемъ кошекъ и лаемъ собакъ; полковница была старушка добрая, прислуга у нея была послушная. Зажилъ майоръ хорошо. Но черезъ четыре мѣсяца ему сдѣлалось скучно. Дѣлать нечего; считать деньги надоѣло, писать и читать онъ не любилъ, и идти никуда не хочется. Придетъ онъ къ полковницѣ, сядетъ противъ нея. Полковница въ огромныхъ очкахъ и огромномъ чепчикѣ вяжетъ чулокъ и что-то нашептываетъ; въ комнатѣ у ней накурено ладаномъ. Она успѣла уже вывѣдать отъ майора все его прошлое и настоящее такъ же, какъ и онъ въ четыре мѣсяца вывѣдалъ отъ нея не только настоящее и прошедшее, но и будущее, которое состояло въ томъ, что полковница ежедневно ждала себѣ смерти, тогда какъ майоръ ни за что не желалъ умереть, и не зналъ только, что̀ дѣлать ему завтра. Не о чемъ даже было и говорить. Новостей въ Мокрой улицѣ такъ мало, что о нихъ довольно поговорить съ четверть часа. Полковница вяжетъ, майоръ сидитъ, смотритъ на полковницу и въ головѣ его вертится только одна мысль: «умрешь»! И онъ силится развить эту мысль, но и развивать тутъ нечего: «умрешь и все тутъ, а мы поживемъ».

— Чортъ ее дери—скуку!—сказалъ однажды майоръ.

— На службу бы вамъ поступить!—сказала на это полковница.

— Баста!.. Будетъ: съ одного вола двухъ шкуръ не дерутъ.

— Гулять бы не то шли.

— Сапоги драть?!

— Ну, пассьянсъ бы...

— Это по-нѣмецки?... А я ихъ терпѣть не могу. Я подъ Севастополемъ ихъ палашемъ по пятнадцати человѣкъ сразу рубилъ.

— Да вовсе вы съ нѣмцами тогда, кажется, не воевали!

— Такъ-то оно такъ... Только, что нѣмецъ, что французъ—все нерусскіе. Вотъ что я вамъ доложу!

— Ну, не то женились бы!

— А? Отлично... Но боюсь...

— Чего?

— Толстъ я очень и силенъ. Меня въ полку называли Ильей Муромцемъ. Боюсь!

— Ну, вы какъ-нибудь... А вамъ надо жениться... Дѣти будутъ; заботы будутъ, хлопоты, возня.

Полковница просвѣтила майора. Сталъ онъ теперь думать, что въ самомъ дѣлѣ толстота его не мѣшаетъ жениться, а рукамъ можно и не давать воли. Но вотъ что его сбивало съ толку: уживется ли онъ съ женой и какая такая будетъ у него жена? И онъ опять обратился за совѣтомъ къ просвѣтительницѣ.

— Это дѣло вкуса,—сказала полковница.

— А именно?

— Надо, чтобы она вамъ понравилась и имѣла капиталъ.

— Такъ, такъ. Капиталъ чтобы имѣла; ну, чтобы повиновалась...

— И чтобы хозяйкой была,—добавила полковница.

Майоръ задумался. Онъ привыкъ къ одинокой жизни, привыкъ самъ покупать, платить и получать деньги. На своемъ вѣку онъ немало имѣлъ любовницъ, но уже годовъ съ десять отсталъ отъ этого, вслѣдствіе какой-то нехорошей исторіи. Этихъ любовницъ онъ не любилъ, не довѣрялъ имъ, а просто сорилъ деньгами. Теперь, остепенившись, онъ долженъ, какъ говоритъ полковница, завести хозяйку, а хозяйка по его понятію, значила то же, что и всякая квартирная хозяйка. Онъ ужасался, что его оберутъ, опоятъ и отравятъ. Онъ сообщилъ это полковницѣ, но та разъяснила, что жена можетъ и свои деньги имѣть. Майоръ нѣсколько успокоился, но его затрудняло теперь то, какая у него должна быть жена: равныхъ съ нимъ лѣтъ или молодая, толстая или тоненькая, высокая или низенькая, грамотная или неграмотная.

— Да гдѣ взять невѣсту?

— Мало ли у насъ невѣстъ?—сказала полковница.

— Но я ихъ не вижу.

— Вы думаете, онѣ сами такъ вамъ въ ротъ и полѣзутъ. Вонъ, напримѣръ, противъ вашихъ оконъ, черезъ огородъ, виденъ мезонинъ съ двумя окнами. Тутъ живетъ кухмистерша.

— Слыхалъ.

— Ну, у нея есть двѣ дочери. Дѣвушки красивыя, рукодѣльницы. Я иногда имъ даю кое-что починить.

— Отлично!—крикнулъ майоръ.

Но онъ съ мѣсяцъ не рѣшался приступить къ дѣлу. Онъ думалъ о женитьбѣ у окна съ трубкой, и смотрѣлъ на мезонинъ. Разъ онъ замѣтилъ у окна въ мезонинѣ мужчину. Заклокотала кровь у майора, разсвирѣпѣлъ онъ ужасно и пришелъ въ такомъ видѣ къ полковницѣ.

— Мужчина! мужчина!! —проговорилъ онъ трагически, указывая руками въ ту сторону, гдѣ мезонинъ.

— Да онѣ не тутъ живутъ.

— А?!

— Не тутъ, говорю, живутъ.

— Не тутъ?

— Я вамъ совѣтовала познакомиться съ ними, а вы какъ колода все сидите, или лежите.

— Ужо!

Майоръ успокоился и черезъ день, выпарившись предварительно въ банѣ, надѣвъ мундиръ съ десяткомъ орденовъ и взявъ трость, поковылялъ къ кухмистершѣ. Если бы не дѣвицы, онъ воротился бы съ первой лѣстницы, но его, несмотря на темноту, нехорошій запахъ и грязь, что-то такъ и тянуло вверхъ.

Анна Петровна совсѣмъ растерялась, увидавъ въ коридорчикѣ такую особу, которую она съ переполоха признала за генерала; ея дочери украдкой смотрѣли на него изъ двери комнаты. Глаза майора въ короткое время успѣли разглядѣть ихъ, и онъ самъ растерялся, говоря дрожащей Аннѣ Петровнѣ: «Я къ вамъ! Я къ вамъ!..» Ни Анна Петровна, ни ея дочери не понимали, что̀ означалъ этотъ визитъ. Анна Петровна думала, не родственникъ ли какой дальній эта особа; ея дочери думали не мазурикъ ли какой. Недавно былъ случай, что какой-то мазурикъ нарядился генераломъ и обокралъ чуть не весь магазинъ, но подойти и шепнуть матери объ этомъ онѣ боялись, потому что онъ стоялъ въ коридорчикѣ. Наконецъ майоръ пришелъ въ себя.

— Я къ вамъ изъ дома Королева... Я живу у полковницы Головиной и имѣю честь рекомендоваться: майоромъ въ отставкѣ, Петръ Иванычъ Филимоновъ! — проговорилъ онъ съ разстановкой, и по окончаніи крякнулъ, точно съ его плечъ свалилась огромная ноша.

— Ахъ, это вы и есть г. майоръ! Слыхала! васъ что-то мало видать на улицѣ, — проговорила Анна Петровна, утирая губы и обдергивая свое платье.

— Я домосѣдъ-съ! Да. Такой домосѣдъ, что...

— Пожалуйте въ комнату.

— Покорно благодарю... Я къ вамъ по дѣлу...

— Пожалуйте!—семенила Анна Петровна, думая, по какому это дѣлу могъ придти къ ней майоръ, котораго рѣдко кто видитъ въ Мокрой улицѣ.

Въ комнатѣ майоръ объявилъ, что онъ намѣренъ брать у кухмистерши кушанья. Онъ просидѣлъ до вечера, похвалилъ и чай, и обѣдъ, и кофе, и пиво, и дѣвицъ за то, что онѣ шьютъ хорошо, и обѣщавъ бывать въ кухмистерской ежедневно, заплатилъ за все съѣденное и выпитое, несмотря на то, что кухмистерша отказывалась брать деньги за чай, кофе и пиво, на томъ основаніи, что она рада знакомству.

Майоръ сообщилъ полковницѣ, что онъ положительно женится; но вотъ горе: ему нравятся обѣ дочери кухмистерши.

— Господь съ вами — вы вѣдь не татаринъ, чтобы на двухъ жениться.

Майоръ задумался. Обѣ молоды, красивы, любезны; которую выбрать?

— Предоставьте это времятеченію, — сказала полковница на сѣтованія майора.

Майоръ не понялъ.

— Очертя голову нельзя дѣлать, что не слѣдуетъ. Потерпите, всмотритесь и разсмотрите ихніе характеры и современемъ вы отличите изъ нихъ достойную васъ,—разъяснила полковница.

Сталъ майоръ посѣщать квартиру кухмистерши и каждый разъ возвращался домой въ недоумѣніи, которая изъ дочерей кухмистерши достойна быть его женой. «Обѣ красавицы, обѣ умны». И, думая объ этомъ, онъ попивалъ пиво.

Прошло лѣто, осень, наступилъ морозъ. Майоръ ходилъ къ кухмистершѣ и засиживался у нея до вечерняго чая, разсказывая про свою военную жизнь, удаль, силу и про то, что въ немъ

вѣсу слишкомъ десять пудовъ. Но перемѣны въ дочеряхъ кухмистерши онъ не замѣчаетъ. Такъ же просто онѣ одѣты; такъ же на ватѣ у нихъ салопчики и такъ же онѣ стыдятся ихъ, какъ и прежде. Какъ и прежде онѣ говорятъ бойко, не долго задумываясь, только что стыдятся его меньше, и стали смѣяться надъ нимъ, какъ ему кажется. Но теперь уже время проводится съ ними скучнѣе прежняго, даже и въ карты играешь—далеко нѣтъ той веселости, какая была лѣтомъ и осенью.

— Что бы это такое значило? — спрашивалъ майоръ полковницу.

— А что жъ вы предложеніе не сдѣлаете и ходите съ пустыми руками?

— Подарить, небось, надо?

— Разумѣется... А выбрали невѣсту-то себѣ?

— Да вотъ Надежда мнѣ лучше нравится; она скромна, только горда больно.

— Ну, это пройдетъ! Вотъ вы ей и купите что-нибудь—ну, хоть лисій салопъ.

— О-о!!!—завопилъ майоръ и замахалъ руками.

Однако полковница успокоила его, и онъ на другой день отправился въ гостиный дворъ. Оказалось, мѣха дороги. Ему тамъ посовѣтовали сходить на аукціонъ въ громоздкую компанію, и тамъ онъ купилъ дешево старенькій лисій салопъ, который и предложилъ Надеждѣ Александровнѣ въ подарокъ къ празднику. Та удивилась и спросила:

— Это за что же?

— Извольте принимать, Надежда Александровна, не то силой надѣну!—сказалъ майоръ улыбаясь.

— Нѣтъ, силой вы не можете и не имѣете права, — отвѣтила Надежда Александровна съ большимъ волненіемъ.

— Ну, такъ я мамашу вашу попрошу.

А Анна Петровна стояла у двери и отчаянно кивала головой, какъ будто говоря: «бери! бери!»

При послѣднихъ словахъ майора она подошла къ нему.

— Позвольте васъ спросить, за что вы дарите Надѣ салопчикъ?—спросила она робко.

— За то...Ахъ!!Не мо-гу-у!—простонялъ майоръ.

— Мы люди не бѣдные, Петръ Иванычъ. Вы насъ обижаете, — проговорила слезливо Анна Петровна и стала куксить глаза.

— Обижаете!..Да мнѣ плевать!—началъ майоръ, что-то соображая, но дальше ничего не могъ выговорить, потому что понялъ, что нарвался и хотѣлъ идти къ полковницѣ за совѣтомъ.

— Не ожидала я отъ васъ. Да позвольте васъ спросить, за кого вы моихъ дочерей принимаете?—продолжала Анна Петровна запальчиво, сообразивъ, что словомъ «наплевать» онъ выразилъ что-то дурное.

— Анна Петровна... Охъ!! Отдайте за меня Надежду Александровну!

— Я ее не держу: какъ она хочетъ!

— Я не хочу... Вы мнѣ не нравитесь!—отрѣзала Надежда Александровна.

— Я такъ и думалъ...—сказалъ жалобно майоръ, сѣлъ и задумался.

Онъ сидѣлъ съ полчаса. Въ это время Анна Перовна, вызвавъ дочерей въ кухню, шопотомъ ругала ихъ и приказывала Надеждѣ Александровнѣ изъявить свое согласіе, а такъ какъ та не соглашалась, то она употребляла въ дѣло руки.

Майоръ очнулся, дѣвицъ нѣтъ. Онъ пошелъ въ кухню.

— Такъ какъ?

— Она согласна,—отвѣтила Анна Петровна.

— Нѣтъ, я несогласна, ни за что на свѣтѣ!—крикнула Надежда Александровна.

— Ну такъ прощайте... А салопъ я дарю, потому мнѣ на что же онъ?

И майоръ ушелъ.

Онъ не приходилъ цѣлыхъ два мѣсяца, потому что его обидѣли отказомъ. Однако, несмотря на такую явную обиду и трату денегъ на салопъ, его почти ежедневно порывало сходить къ кухмистершѣ и посмотрѣть, что тамъ дѣлается. И вотъ онъ задумалъ планъ: нельзя ли ему взять къ себѣ Надежду Александровну въ любовницы?

Въ эти два мѣсяца сестрамъ покоя не было отъ матери: она ихъ ругала и била, умоляла ихъ, плакала и опять ругала. Ни въ чемъ неповинной Вѣрѣ надоѣло все это страшно, и она стала тоже уговаривать Надежду Александровну пожалѣть хотя ее.

— Ты изъяви согласіе, пускай онъ ходитъ. Можетъ быть, онъ еще и раздумаетъ,—говорила она сестрѣ.

Та плакала, хотѣла убѣжать, но ей грѣшно казалось обидѣть своимъ побѣгомъ мать, да и пугала будущность, если она попадетъ куда-нибудь въ магазинъ. Думалось также, что если она уйдетъ, то Вѣра не пойдетъ съ ней; а если Вѣра останется, то майоръ непремѣнно будетъ за нее свататься. Она знала характеръ Вѣры —ее уговорить не трудно. И что будетъ за жизнь съ этимъ бульдогомъ, который можетъ однимъ взмахомъ руки убить слабую женщину. Она начинала соглашаться съ мнѣніемъ сестры, что, можетъ быть, онъ и раздумаетъ жениться, можетъ быть, мать современемъ сама убѣдится въ своей несправедливости... Ну, а если онъ да въ самомъ дѣлѣ женится?.. И она сказала объ этомъ сестрѣ.

— Я бы на твоемъ мѣстѣ вышла за него, потому что такіе толстые умираютъ отъ удара. Мамаша тоже говоритъ. Она надѣется, что онъ долго не проживетъ, и когда онъ умретъ, все намъ достанется. А если бы не то, стала бы мамаша выталкивать насъ за него?

Надежда Александровна подумала объ этомъ и рѣшилась изъявить согласіе. Анна Петровна обрадовалась и, откормивъ нахлѣбниковъ, одѣлась по праздничному и пошла къ майору.

Майоръ лежалъ на кровати; при входѣ Анны Петровны онъ не всталъ.

— Что это вы, Петръ Иванычъ! Здоровы ли?—проговорила Анна Петровна.

— А что?

— Да васъ не видать нигдѣ...

— Чего мнѣ дѣлается! Я здоровъ.

— А я все сбиралась къ вамъ съ Надей попросить у васъ извиненія. Да тутъ Надя захворала, хлопотъ было много. Она и больная все говорила мнѣ «сходите за Петромъ Иванычемъ, я, говоритъ,

сказала ему грубости потому, что его сватовство было такъ неожиданно»... И теперь все пристаетъ да пристаетъ: «сходи да сходи»... А я все думаю, хорошо ли это будетъ? Можетъ быть, вы и отмѣнили свое рѣшеніе жениться?

Майоръ лежалъ, глядя въ потолокъ и поглаживая животъ. Съ полчаса ни кухмистерша, ни майоръ не сказали ни слова. Наконецъ Аннѣ Петровнѣ надоѣло стоять.

— Прошу извинить, что безпокоила васъ,—сказала она.

Майоръ повернулъ голову къ Аннѣ Петровнѣ и уставилъ на нее свои глаза, которые выражали и радость, и звѣрство.

— Такъ она согласилась?—проговорилъ майоръ.

— Одумалась и согласилась.

— Такъ... А если я несогласенъ?

— Воля ваша.

— Ну, я прощаю... И чтобы впередъ этого не было!—проговорилъ онъ и всталъ.

Майоръ сдѣлался любезенъ, напоилъ кухмистершу чаемъ и пивомъ. Анна Петровна пришла домой на-веселѣ и разбила въ кухнѣ миску, купленную ею на Сѣнной.

Майоръ не скоро собрался къ кухмистершѣ; онъ пришелъ черезъ недѣлю послѣ визита къ нему Анны Петровны.

Мѣсяца два майоръ приходилъ раза по два въ недѣлю. Онъ обыкновенно приходилъ къ обѣду и уходилъ вечеромъ. Велъ онъ себя скромно, какъ слѣдуетъ жениху, разсказывалъ о своихъ походахъ, о томъ, какъ онъ въ старые годы училъ солдатъ, говорилъ, что ему не нравятся нынѣшніе порядки, игралъ въ карты и мало пилъ пива. На сѣтованія Анны Петровны, что содержаніе стало дорого, нахлѣбники плохо платятъ, онъ посовѣтовалъ давать подъ залогъ вещей или за проценты деньги и, подъ предлогомъ быть участникомъ въ этомъ, далъ ей денегъ и обѣщалъ напередъ давать. Однимъ словомъ, Петръ Иванычъ оказался отличнѣйшимъ человѣкомъ, и всѣ имъ были довольны, даже Надежда Александровна не косилась на него по-прежнему. Но о свадьбѣ ни майоръ, ни кухмистерша съ дочерьми не заикались; послѣднія считали вопросы неловкими, да и думали, что лучше будетъ, если женихъ и невѣста до свадьбы узнаютъ другъ друга. На третьемъ мѣсяцѣ майоръ принесъ Надеждѣ Александровнѣ шелковой матеріи на платье и потребовалъ, чтобы она поцѣловала его. Отказываться было неудобно. Майоръ сталъ приходить по вечерамъ. Надежда Александровна должна была цѣловать его по приходѣ и при уходѣ изъ квартиры. Но и это ничего; къ майору привыкли, и онъ въ теченіе года былъ въ квартирѣ кухмистерши, какъ свой человѣкъ. Иногда онъ снималъ съ себя сюртукъ, иногда приносилъ халатъ, трубку, ложился на диванъ; ему эти вольности допускались за то, что онъ носилъ коекогда подарки невѣстѣ или ея сестрѣ, а мать ссужалъ деньгами. А о свадьбѣ все-таки не было рѣчи, и сестры стали говорить между собой, что имъ надо какъ-нибудь выйти изъ этого положенія, потому что, какъ видно, майоръ не такой дуракъ, какимъ кажется, и подъѣзжаетъ къ нимъ довольно ловко.

Разъ Надежда Александровна возвращалась домой изъ Малой Дворянской улицы, куда она ходила за работой. Попадается ей предметъ. Оба замлѣли, но спросили другъ друга о здоровьѣ. Потомъ предметъ вдругъ спрашиваетъ ее: скоро ли ея свадьба съ майоромъ? Та сказала, что майоръ объ этомъ ничего не говоритъ имъ. Предметъ пригласилъ Надежду Александровну въ паркъ, дорогой купилъ апельсиновъ, грушъ, яблокъ. Въ саду они сидѣли до вечера, говорили долго, изъяснились въ любви, и предметъ просилъ ее подождать немного, потому что ему обѣщаютъ казенную квартиру и награду. А такъ какъ онъ ее очень любитъ, то проситъ приходить въ паркъ. Но Надежда Александровна сказала, что ей нельзя часто ходить въ паркъ, потому что бульдогъ по вечерамъ сидитъ у нихъ, а лучше будетъ, если ты, Паша, будешь жить у насъ. У насъ теперь есть порожняя комната. Паша переѣхалъ къ кухмистершѣ, которая ничего не подозрѣвала, а какъ только нѣтъ матери, а Паша дома, сестры или сидятъ у него, или онъ у нихъ. Прошло два мѣсяца; Паша живетъ, обнимается съ Надей; майоръ тоже ходитъ, обнимается и цѣлуется съ Надеждой Александровной. Надежда Александровна весела, сдѣлалась даже веселѣе Вѣры, которой было завидно счастью сестры, сумѣвшей своего Пашку помѣстить въ одной квартирѣ; майоръ тоже веселъ: ему казалось, что его наконецъ-таки полюбила гордая и своевольная дѣвчонка. Теперь майоръ повелъ дѣло на чистоту.

Приходитъ онъ разъ въ первомъ часу ночи съ узломъ и трубкой. Анна Петровна спала, но дочери работали. Анну Петровну стали будить, майоръ не приказывалъ.

— Что вы такъ поздно пришли?—спросила его Надежда Александровна.

— Долго послѣ обѣда спалъ. Стели, Надя, постель!

— Это не для васъ ли ужъ?

— Именно. Сегодня моему терпѣнію конецъ. Съ сегодняшняго дня ты жена мнѣ будешь.

Надежда Александровна поблѣднѣла, и шатаясь дошла до постели и закрыла лицо руками.

— Стыдитесь говорить-то!—сказала съ сердцемъ Вѣра Александровна.

— Да!

Вѣра Александровна подошла къ двери, вынула ключъ и крикнула:

— Мамаша! Кухарка! Жильцы! Идите!..

Но майоръ угостилъ ее оплеухой, и она упала. Явилась мать, жильцы, кухарка. Вышла сцена.

— Вонъ!!—ревѣлъ майоръ, толкая то того, то другого.

— Вонъ!!—кричала испуганная Анна Петровна, видя поднимающуюся съ полу и съ кровью во рту Вѣру и плачущую Надю.

— Деньги подай, или дочь!

— Павелъ Игнатьичъ! сходите за полиціей!—просила Анна Петровна.

— А! вы такъ?! Я васъ проучу!.. — ревѣлъ майоръ и сѣлъ.

Но онъ сидѣлъ не долго и ушелъ вслѣдъ за жильцомъ, пошедшимъ за полиціей.

Теперь всѣмъ стало ясно, что̀ за штука этотъ майоръ, и рѣшено было жаловаться на него полиціи и возвратить не только всѣ вещи, но и деньги по возможности. Но это было рѣшено сгоряча. Утромъ явился майоръ въ мундирѣ съ орденами и, войдя въ кухню, сталъ передъ кухмистершей на колѣни.

— Виноватъ-съ, простите... Впередъ не буду!— проговорилъ онъ.

— Идите прочь. Не надо мнѣ вашего прощенья,— проговорила запальчиво Анна Петровна.

— Но я майоръ и... я былъ пьянъ.

— Я хотя и не имѣю чести именоваться майоршей, но все-таки дворянка, и не позволю обижать меня и бить моихъ дочерей.

— Я плачу за безчестіе.

— Ничего я не хочу!

Майоръ всталъ, сдѣлалъ руки фертомъ и началъ:

— А вотъ это какъ, по-вашему, безчестье, или нѣтъ? сижу я у окна и вижу Надежду Александровну въ комнатѣ вашего жильца. Потомъ вижу, жилецъ обнимаетъ.

— Полно вамъ врать-то!

— Позовите-ко сюда жильца и Надежду Александровну!

Анна Петровна не хотѣла этого сдѣлать, но явилась Надежда и сказала запальчиво:

— Павелъ Игнатьичъ въ тысячу разъ лучше. Мамаша! позвольте мнѣ идти за него...

— Что я говорилъ?—сказалъ майоръ и захохоталъ.

Это такъ удивило Анну Петровну, что она не знала, что ей сказать. Вдругъ она пошла въ комнату Павла Игнатьича.

— Вы... вы подлецъ!—произнесла она дрожащимъ голосомъ.

— Покорно васъ благодарю.

— Извольте сейчасъ, сію минуту съѣзжать съ квартиры! — крикнула она и вышла, хлопнувъ дверью.

Началась сцена, довольно непріятная для всѣхъ и кончившаяся тѣмъ, что майоръ заплатилъ за побитіе Вѣры двадцать пять рублей, остался женихомъ Надежды съ тѣмъ условіемъ, что онъ женится непремѣнно, если выѣдетъ Павелъ Игнатьичъ и если ему будутъ оказывать уваженіе; что онъ будетъ посѣщать невѣсту разъ въ недѣлю и не будетъ впередъ безобразничать.

Началась опять прежняя жизнь, майоръ посѣщалъ невѣсту разъ въ недѣлю и по-прежнему игралъ въ карты. Но Анна Петровна не залюбила Надежду Александровну, которая все дѣло испортила, можетъ-быть, навсегда. Дочери ненавидѣли майора, но сидѣли съ нимъ потому, что изъ этой жизни не видѣли выхода. Такъ прошелъ годъ. Опять майоръ сдѣлался своимъ человѣкомъ, но теперь уже строились планы будущей семейной жизни. Майоръ, за двѣ недѣли до найма Пелагеи Прохоровны, говорилъ, что у него теперь лежитъ сердце больше къ Вѣрѣ Александровнѣ и онъ уже ходилъ къ священнику посовѣтоваться насчетъ свадьбы. Анна Петровна тоже сходила къ священнику— майоръ точно у него былъ. Онъ сталъ приходить къ кухмистершѣ ежедневно и, въ ожиданіи свадьбы, которая была назначена черезъ недѣлю послѣ Петра и Павла, всѣ терпѣливо сносили невѣжливое обращеніе его. Вѣра Александровна съ трепетомъ ждала дня, когда ее повѣнчаютъ съ тѣмъ, кого она ненавидитъ, и рѣшилась на этотъ бракъ, чтобы угодить матери и въ надеждѣ на то, что майора кондрашка хватитъ.

И дѣйствительно, вскорѣ послѣ Петра и Павла майоръ былъ обвѣнчанъ.

XXVII.

Скоро послѣ свадьбы майоръ купилъ себѣ собственный домъ на набережной Невы и переѣхалъ туда съ женою, переманивъ отъ кухмистерши и Пелагею Прохоровну.

Житье было дурное. Майоръ съ утра до вечера былъ пьянъ, билъ жену и нѣсколько разъ даже дѣлалъ Пелагеѣ Прохоровнѣ предложеніе быть его любовницей. Но она все еще крѣпилась и не рѣшалась оставить майорскій домъ, во-первыхъ потому, что надѣялась справиться съ майоромъ сама, если онъ будетъ слишкомъ предпріимчивъ, и во-вторыхъ потому, что получала тутъ три цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, и думала, что такого жалованья въ другомъ мѣстѣ, пожалуй, и не найти. Однажды майоръ ушелъ съ женою въ гости; Пелагеѣ Прохоровнѣ сдѣлалось скучно; она отворила окно, уперлась на косякъ и стала смотрѣть во дворъ.

За мезониномъ, въ промежуткѣ между двухъ оконъ, на бичевочкѣ висѣло дѣтское бѣлье; изъ одного растворенного окна слышался плачъ ребенка и убаюкивающая пѣсня женщины; у третьяго окна сидѣла повидимому дѣвушка въ сѣткѣ и нагнувшись пѣла: «Ахъ, ты купчикъ, душа, не ночуй у меня». Въ одномъ углу двора пять мальчиковъ играли въ бабки, три дѣвочки сидѣли у крыльца и тихо играли въ куклы; въ другой сторонѣ двора, изъ одного подвальнаго этажа, слышался стукъ молоткомъ, изъ другого выглядывала кверху какъ разъ на нее мужская голова. Пелагею Прохоровну разсмѣшила эта голова, выглядывающая точно изъ водосточной трубы, но кромѣ головы, на одинъ бокъ которой было надѣто что-то плисовое, похожее на ермолку, она замѣтила на окнѣ два локтя, концы которыхъ выходили наружу. Голова курила папироску. Вдругъ голова кивнула по направленію къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Пелагея Прохоровна нагнулась, чтобы полюбопытствовать, какой особѣ кланяется голова.

— Пелагеѣ Прохоровнѣ!—вдругъ сказала голова.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, затворила окно и отошла отъ него. Ей сдѣлалось стыдно и представилось, что это киваніе непремѣнно кто-нибудь замѣтилъ, а ея имя по всей вѣроятности услышалъ не одинъ человѣкъ. «Эдакой подлецъ!» подумала она: «теперь по его милости обо мнѣ нехорошо станутъ говорить!»

*

Во всей квартирѣ была тишина, прерываемая тиканьемъ часовъ безъ боя, находящихся въ комнатѣ. Пелагеѣ Прохоровнѣ сдѣлалось очень скучно, не хотѣлось работать, и въ головѣ вертѣлась мысль, что вотъ она ни въ чемъ не виновата, а теперь, по милости какого-то подлеца, ей совѣстно будетъ выйти на улицу или на дворъ. Ее порывало идти и спросить эту голову: «какъ она смѣла кланяться ей и называть ее по имени на весь дворъ, точно она его любовница? Надо дворнику сказать, чтобы квартиранты не смѣли обращаться такъ невѣжливо: я не какая-нибудь потаскуша, чтобы можно такъ обращаться со мной!»—подумала она и рѣшила теперь же идти къ старшему дворнику.

Она поправила свой сарафанъ, накинула на голову платокъ и подошла къ небольшому зеркальцу, висѣвшему на стѣнкѣ и принадлежавшему ей. Она давно не смотрѣлась такъ въ зеркало, какъ сегодня. Прежде она только взглядывала на него для того, чтобы посмотрѣть, въ порядкѣ ли причесаны волосы, хорошо ли лежитъ платокъ на головѣ; теперь же она особенно засмотрѣлась на свое лицо, и удивилась, что оно стало блѣднѣе прежняго и въ немъ нѣтъ прежней полноты. «Подумаешь, вѣдь кажется и сыта я, прежде вонъ объ этомъ кофеѣ и понятія никакого не имѣла, работы не такъ много и по ночамъ не мѣшаютъ спать, а стала я почто-то худощава: вонъ и глаза ровно не тѣ, и волосы стали какъ-будто рѣже». Но, несмотря на это сѣтованіе, Пелагея Прохоровна была все-таки женщина красивая: ея блѣдное, худощавое лицо, съ сосредоточенно-осмысленнымъ взглядомъ въ глазахъ, при ея высокомъ ростѣ, могло привлечь къ себѣ хоть кого, хоть она сама объ этомъ и не старалась.

Пелагея Прохоровна спустилась во дворъ, и хотя ей не хотѣлось глядѣть на флигель, но противъ воли глаза взглянули на одно изъ оконъ въ подвалѣ, однако головы не оказалось.

Во дворѣ было два флигеля, изъ которыхъ одинъ былъ съ мезониномъ, а другой безъ мезонина, но такъ же, какъ и первый, съ подваломъ. Въ подвалѣ перваго флигеля отдавались въ наймы двѣ квартиры, и въ одной изъ нихъ жило пятнадцать человѣкъ рабочихъ; въ другомъ помѣщался семейный сапожникъ, не имѣющій впрочемъ вывѣски; остальная часть подвала была занята ледникомъ и дровянымъ сараемъ домовладѣльца, и поэтому кухаркѣ Филимонова ежедневно по нѣскольку разъ приходилось проходить въ ледникъ мимо того окна, въ которомъ она видѣла голову. Хотя же Пелагея Прохоровна до сихъ поръ не обращала вниманія на окна подвала и на народъ, живущій тамъ, но теперь она хотѣла увидать того подлеца, который осмѣлился такъ дерзко фамильярничать съ ней. Она постояла противъ окна съ полминуты, наклонившись къ землѣ, какъ будто разглядывала находку и искоса взглядывая на окно; но всѣ окна были заперты, и въ подвалѣ было тихо.

Послѣ этого прошла недѣля. Пелагея Прохоровна не обращала вниманія на выходку рабочаго изъ подвала и стала забывать о ней. Но она стала замѣчать, что кухарки взглядываютъ на нее полунасмѣшливо; дворники начинаютъ отпускать любезности и хохочутъ, лавочники низко кланяются, шаркаютъ ногами и тоже хохочутъ и уже начинаютъ крѣпко жать ей ладони. Стали Пелагею Прохоровну спрашивать: какъ она себя чувствуетъ? и спрашивали какъ-то насмѣшливо. Это ее разобидѣло; но она, понявъ, что тутъ заключается какой-то намекъ, все-таки не возражала, чтобы не навлечь какихъ-нибудь непріятностей. Она это приписывала нехорошему, какъ ей казалось, поведенію женщинъ: «это онѣ по себѣ судятъ; имъ удивительно кажется, что я живу безъ душеньки, и онѣ злятся на меня, зачѣмъ я не якшаюсь съ ними».

Хотѣлось ей познакомиться съ женой лавочника Большакова, жившаго тутъ же во флигелѣ, Агафьею Петровною, для того, чтобы при посредствѣ ея мужа, у котораго берутъ хлѣбъ и другіе припасы, найти мѣсто получше или заняться стиркой бѣлья; но ей казалось, что Агафья Петровна ведетъ себя съ нею весьма надменно, и Пелагея Прохоровна не залюбила ее.

Такъ и шло все по-старому: женщины на нее косились, мужчины какъ-то насмѣшливо улыбались, лавочники жали руки и любезничали, что́ ей очень не нравилось, но никто не обижалъ словами. Разъ майоръ воротился домой откуда-то очень пьяный и учинилъ дома драку, такъ что почти всѣ жильцы высовывали свои головы, чтобы послушать, и дѣлали громко свои замѣчанія. Досталось тутъ и Пелагеѣ Прохоровнѣ, которая стала заступаться за хозяйку изъ боязни, чтобы майоръ не убилъ ея. Наконецъ майоръ выгналъ жену и заперся въ своей комнатѣ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ стало жаль майорши, и она пошла ее разыскивать, чтобы та ночевала въ кухнѣ, на ея кровати. Но ни на лѣстницѣ, ни на дворѣ она не нашла ея. Думая, не ушла ли она на улицу, Пелагея Прохоровна отворила калитку, взглянула налѣво—нѣтъ, направо—у самой калитки на лавочкѣ сидитъ та голова, что такъ дерзко кричала ей изъ подвальнаго окна. У Пелагеи Прохоровны по кожѣ мурашки пробѣжали.

— Кого ищете, Пелагея Прохоровна?—проговорилъ скромно мужчина.

Пелагея Прохоровна вспыхнула, но отошла немного на дорогу и поглядѣла на сидящаго мужчину.

Это былъ высокій человѣкъ, годовъ тридцати, съ курчавыми рыжими волосами, безъ бороды и усовъ, блѣднымъ, чистымъ лицомъ, голубыми глазами и пріятною улыбкою. Онъ сидѣлъ въ голубой ситцевой рубашкѣ, поверхъ которой былъ надѣтъ чистый передникъ; на босыхъ ногахъ были надѣты худенькія калоши, на головѣ плисовая шапка. Вся его фигура изобличала мастерового, и Пелагеѣ Прохоровнѣ представилось, точно она видитъ передъ собой Короваева. Онъ сидѣлъ, скрестивши на груди руки и спокойно глядѣлъ на нее.

— Хозяйку ищете? — спросилъ опять Пелагею Прохоровну мужчина.

— Ты... вы не видѣли? — Лицо Пелагеи Про-

хоровны покраснѣло: ей стало неловко, да и зло брало ее,—неизвѣстно для нея самой почему.

— Нѣтъ, не видалъ... Видно, машина-то у васъ все въ полномъ ходу?

Пелагея Прохоровна не поняла.

— Видно, онъ все буянитъ? Вы бы насъ, мастеровыхъ, позвали, мы бы связали его.

— Свяжешь его, чорта! — И Пелагея Прохоровна подошла къ калиткѣ.

Мужчина тоже всталъ.

— Пелагея Прохоровна... позвольте мнѣ... просить васъ,—началъ онъ нерѣшительно.

— Ну?!—недовольно произнесла Пелагея Прохоровна.

— Простите меня великодушно. Я слышалъ, вы изволили обидѣться.

— Кабы уменъ былъ, не оралъ бы во все горло.

— Ну, простите же меня...— И онъ взялъ ея руку, крѣпко стиснулъ и прибавилъ: — ей Богу, это меня чортъ сунулъ... Я давно хотѣлъ вамъ объяснить это... Ну, скажите, вы не сердитесь?

— Пустите!

— Нѣтъ, вы скажите.

— У! какой невѣжа!..—И Пелагея Прохоровна отвернула лицо. Мужчина выпустилъ руку и сказалъ:

— Простите великодушно, что я задержалъ васъ...

Но Пелагея Прохоровна не удостоила его отвѣта и вошла во дворъ. Она остановилась у лѣстницы и стала припоминать, что она сказала своему врагу. Кажется, ничего, но только какъ-то по-дѣвичьи... И зачѣмъ онъ непремѣнно тутъ? Она задумалась... Ничего у ней не выходило, кромѣ того: «какой ласковый... Этотъ не какъ Короваевъ!» Опять стала думать. «И зачѣмъ онъ тутъ? Да я его часто вижу, только не въ этой смѣшной ермолкѣ... Ахъ, кабы онъ былъ кержакъ... то бишь раскольникъ. Экая я дура, о чемъ задумала, а тамъ поди, Богъ знаетъ что, творится на верху-то!» И Пелагея Прохоровна побѣжала наверхъ; и ей было легко бѣжать,—она думала: «не боюсь я тебя, поганый бульдогъ!»

Только что Пелагея Прохоровна раздѣлась и легла спать на свою кровать, какъ майоръ подошелъ къ ней со свѣчкой и, схвативъ ее за волосы, проговорилъ съ яростью:

— Гдѣ ты была, гадина!

— Неужели мнѣ и на улицу нельзя выйти?— отвѣтила кухарка тономъ никого не боящейся женщины и правой рукой вышибла изъ руки майора свѣчку. Майоръ выпустилъ ея волосы, но схватилъ за рубаху. Пелагея Прохоровна встала, но почувствовала крѣпкій ударъ въ щеку, потомъ еще ударъ.

— Вонъ, тварь поганая!—кричалъ майоръ:— развѣ я не знаю, куда ты ходила?!.. Вы всѣ за одно съ моей женой. Вонъ!—И майоръ сталъ толкать Пелагею Прохоровну.

— Разсчетъ наперво подайте, паспортъ!—кричала Пелагея Прохоровна внѣ себя.

Но майоръ ничего не слушалъ; Пелагея Прохоровна не могла защищаться и выскочила въ сѣни.

— Куда?!—крикнулъ майоръ въ сѣняхъ.

Пелагея Прохоровна спустилась по лѣстницѣ. Майоръ постоялъ немного у перилъ и ушелъ въ квартиру. Ставши у крыльца, Пелагея Прохоровна заплакала. Вдругъ кто-то въ коридорѣ отворилъ дверь; къ Пелагеѣ Прохоровнѣ подошла пожилая женщина. Это была нянька нижнихъ жильцовъ, Дарья Васильевна.

— Кто это?! А! Пелагеюшка... что, не прибилъ ли онъ тебя?—спросила она нѣжно.

— Богъ съ нимъ... завтра отъ мѣста отхожу.

— Ну, полно-ко! Твоя-то барыня говоритъ, что все это будто отъ тебя... Мы ее спрятали.

— Вретъ барыня... Она сама задираетъ... Скажите ей, что она ошибается.

— Мнѣ что?.. Я бы тебя пригласила, да сама знаешь, я въ людяхъ живу: каково еще моей барынѣ понравится.

— Да я гдѣ-нибудь.

Пелагея Прохоровна вышла за ворота, потому что ей не къ кому было идти и не хотѣлось кланяться и просить пріюта.

Былъ уже сентябрь мѣсяцъ на исходѣ; дулъ рѣзкій холодный вѣтеръ съ рѣки. Луна освѣщала набережную и Неву съ ея судами и барками. И здѣсь, и кругомъ было тихо, только въ рѣкѣ плескались волны, скрипѣли суда и барки съ дровами, лѣсомъ и камнемъ.

«Вотъ и опять одна, и опять безъ пріюта», думала Пелагея Прохоровна, уперлась о фонарный столбъ, на которомъ не было фонаря, и задумалась. Но въ голову ничего не шло хорошаго, какъ-будто майоръ весь мозгъ вытрясъ изъ головы. А вѣтеръ такъ и дуетъ, Пелагею Прохоровну начинаетъ трясти отъ холода.

— И это столица! Ужъ если здѣсь такая жизнь, гдѣ же лучше?—сказала она, глядя на рѣку.

— Пелагея Прохоровна... что вы тутъ дѣлаете?— произнесъ вдругъ позади ея мужской голосъ.

Пелагея Прохоровна обернулась; передъ ней стоялъ рыжеволосый мужчина въ томъ же нарядѣ, въ какомъ онъ былъ часа два тому назадъ.

— Вѣдь вы простудитесь... — опять произнесъ онъ съ сожалѣніемъ.

— А вамъ-то что? Что вы за мной ходите?— недовольно проговорила Пелагея Прохоровна.

— Всякій вамъ то же скажетъ, что и я... Али вамъ жизнь надоѣла?.. Да вы идите лучше хоть во дворъ.

— Куда жъ я пойду... Ужъ я не пойду больше туда.

— Экія вы спѣсивыя... Все же за паспортомъ, али за деньгами придется идти. Прошу васъ, отойдите отсюда, пожалѣйте себя.

Пелагея Прохоровна пошла къ дому. Во дворѣ бушевалъ майоръ.

— Гдѣ жена?—кричалъ онъ.

— Эко горе... Не проходила Вѣра Александровна?—спрашивалъ во дворѣ дворникъ.

— Да вы всѣ, подлецы, спали!—ревѣлъ майоръ, и слышно было, какъ онъ билъ дворниковъ по щекамъ.

— Господи! я боюсь, какъ бы онъ сюда не при-

шелъ! — сказала шопотомъ Пелагея Прохоровна, смотря на мужчину и дрожа отъ холода и отъ страха.

— Ну, дакъ что! Пусть только тронетъ... Я покажу ему, кто изъ насъ сильнѣе.

Но голосъ майора затихъ во дворѣ; повидимому онъ ушелъ куда-то.

— Вы постойте тутъ, а я посмотрю, куда онъ ушелъ, и похлопочу, гдѣ бы вамъ ночевать.

— Ужъ не безпокойтесь, я и здѣсь просижу.

— Ну, и значитъ, что вы дура!

И мужчина ушелъ во дворъ.

Пелагея Прохоровна не знала, что ей дѣлать. Эта сцена вышла такъ неожиданно, что она не могла ничего придумать. Если бы она знала, что майоръ ее прибьетъ и прогонитъ сегодня ночью, она бы позаботилась о ночлегѣ. А теперь не сидѣть же ей въ самомъ дѣлѣ на улицѣ въ такой холодъ. При этомъ она обозвала себя дурою за то, что стала у самой рѣки въ одной рубахѣ, безъ платка на головѣ и босикомъ, когда могла бы спрятаться гдѣ-нибудь въ подвалѣ и такимъ образомъ избѣжать встрѣчи съ этимъ мастеровымъ, отъ котораго теперь всѣ узнаютъ, что она стояла на улицѣ въ такомъ видѣ. «А онъ человѣкъ добрый, хорошій, и на тѣхъ подмастерьевъ, что я видѣла здѣсь, не походитъ», думала она объ этомъ мастеровомъ, не сердилась на его навязчивость, а ждала, гдѣ-то онъ ее пріютитъ ночевать.

На улицу вышли дворникъ и лавочникъ, Иванъ Зиновьичъ Большаковъ, за нимъ шелъ и мастеровой.

— Эдакой проклятый... Чтобъ ему лопнуть, живорѣзу!—говорилъ дворникъ.

— Пелагея Прохоровна... пожалуйте къ намъ, не побрезгуйте,—сказалъ лавочникъ, подойдя къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

Пелагея Прохоровна не знала, что сказать. Ей вдругъ представилось, что Агафья Петровна сдѣлается еще надменнѣе и ей придется унижаться передъ нею.

— Нѣтъ, я въ другое мѣсто.

— Ну, полноте. Вонъ Игнатій Прокопьевичъ тоже совѣтуетъ,—указавъ на мастерового, проговорилъ лавочникъ, и прибавилъ:—у меня мѣста много, хватитъ.

— Именно! А я завтра навѣдаюсь къ хозяину, можетъ и ничего,—сказалъ дворникъ.

Всѣ вошли во дворъ. Большаковъ спустился налѣво въ подвалъ въ свою квартиру, заключавшуюся изъ одной комнаты съ двумя окнами у самаго потолка, съ русскою печью, и изъ овощной и мелочной лавочки.

XXVIII.

Комната или изба со сводами была просторная, но такъ какъ она примыкала къ лавкѣ, то до половины была загромождена кадками, кулями и мѣшками, которые лежали тутъ потому, что Иванъ Зиновьичъ Большаковъ не имѣлъ ни погреба, ни ледника. Въ комнатѣ тѣсно и грязно; а такъ какъ на окнахъ были наставлены разныхъ величинъ банки съ вареньями, изюмомъ, миндалемъ, чернымъ, немолотымъ перцемъ и т. п. мелочами, то даже и днемъ тутъ было не совсѣмъ свѣтло. Повидимому Иванъ Зиновьичъ не заботился ни о свѣтѣ, ни о просторѣ и чистотѣ своего помѣщенія. Имѣя жену, работящую и хорошую хозяйку, и выторговывая въ сутки отъ двухъ до пяти рублей барыша, онъ этимъ помѣщеніемъ былъ бы совершенно доволенъ, еслибы не дымила въ вѣтеръ печь, не текла въ лавочку и въ комнату со двора вода весной и осенью, и еслибы онъ имѣлъ ледникъ, въ которомъ можно было бы дольше сохранять масло, молоко и рыбу. Но ужъ такова русская неподвижность, или привычка къ одному мѣсту, что Иванъ Зиновьичъ каждую весну и каждую осень собирается переѣхать на другую квартиру, но лѣтомъ и зимой раздумываетъ, потому что лѣтомъ выручаетъ много, а зимой ему кажется все равно, гдѣ бы ни нанялъ квартиру, вездѣ холодно; а во-вторыхъ: «вѣдь прожилъ же я здѣсь семь лѣтъ, авось и восьмой проживу. Вотъ развѣ когда кончится срокъ контракту, тогда подумаемъ». Къ этому еще присоединялись хлопоты по переноскѣ и перевозкѣ вещей: «все это хоть и дешево куплено, дешевле чѣмъ на толкучкѣ, а стань-ко переносить или перевозить—половины не досчитаешься, и заводись опять снова; а мы знаемъ, каково опять сызнова-то обзаводиться».

Иванъ Зиновьичъ родился въ деревнѣ. Отецъ у него былъ зажиточный крестьянинъ, но дальше своего губернскаго города не ѣздилъ, а дядя занимался въ Петербургѣ мелочной торговлей, а потомъ сталъ торговать мукой и крупой и въ помощники къ себѣ выписалъ племянника. Иванъ Зиновьичъ очень скоро понялъ изворотливость дяди и въ отсутствіе его, уже на семнадцатомъ году, торговалъ не хуже его, и дядя очень любилъ его, да и покупатели были очень довольны. Двадцати лѣтъ онъ женился на дочери одного лавочника, несмотря на то, что она была не очень красивая на лицо, и что за него пошла бы замужъ любая изъ барскихъ горничныхъ или даже дочь мелкаго чиновника. Онъ не женился ни на одной изъ нихъ потому, что онѣ на его взглядъ казались бѣлоручками, непривыкшими къ подвальной жизни, къ стряпнѣ и ничего несмыслящими по торговой части. Хотя же его молодая жена и не сидѣла въ лавочкѣ, но она ему пришлась по вкусу: лучше такой хозяйки онъ и не находилъ и былъ ею очень доволенъ. Это была низенькая, тощая молодая женщина съ веснушками на лицѣ и съ рѣдкими рыжими волосами, никакъ не могшая отстать отъ своего ярославскаго нарѣчія и привыкнуть къ петербургскому. Самъ Иванъ Зиновьичъ былъ рослый, здоровенный молодой человѣкъ съ полными красными щеками, безъ усовъ и бороды, которые онъ брилъ каждую недѣлю по субботамъ, тотчасъ по приходѣ изъ бани, постоянно улыбающійся, сдержанно-любезный, суетящійся и слывущій на нѣсколько домовъ за самаго толковаго человѣка. Онъ всегда одѣвался такъ, что его не могли назвать маклакомъ: фуражка у него никогда не была измята и запачкана, передникъ постоянно чистый, сапоги хотя и смазаны дегтемъ, но со скрипомъ, и надо

было посмотрѣть, какъ онъ одинъ, безъ подручнаго, управляется въ лавочкѣ, успѣвая то отвѣсить фунтъ хлѣба, то свертѣть бумагу, накласть въ нее кислой капусты и свѣсить, то отпустить полстакана сливокъ, бутылку молока и въ то же время записывать въ книжки покупателей и у себя въ тетрадкѣ, что̀ ими и на сколько взято. Ни своего огорода, ни своего скота, ни своей рыбной ловли у него не было, но онъ все покупалъ изъ первыхъ рукъ—или съ Охты, или отъ чухонъ,—такъ что ему все стоило не дорого, онъ же продавалъ по существующимъ въ городѣ цѣнамъ и выторговывалъ барыша, какъ я уже и сказалъ раньше, отъ двухъ до пяти рублей въ сутки.

Жена его, Агафья Петровна, въ его торговыя дѣла не вмѣшивается и приходитъ въ лавку только посидѣть съ ребенкомъ, потому что въ лавкѣ все-таки и воздухъ немного лучше комнатнаго, и веселѣе. Несмотря на то, что мѣстныя женщины называютъ ее выдрой, онѣ къ ней обращаются всегда съ почтеніемъ и непремѣнно остановятся въ лавочкѣ минутъ на пять, чтобы покалякать съ нею о господахъ. Но ей и въ лавкѣ приходится сидѣть не подолгу, потому что у нея двое маленькихъ ребятъ, за которыми нужно посмотрѣть, да и много дѣла, а ей нужно все сдѣлать самой, такъ какъ у нея работницы нѣтъ. Впрочемъ она никогда не говорила, что ей скучно, друзей себѣ не искала и жила только съ женой дворника душа въ душу, тогда какъ у мужа ея, совсѣмъ опетербурживщагося, было много питерскихъ пріятелей, и она замѣчала, что онъ съ земляками держитъ себя высоко, какъ важная особа.

Иванъ Зиновьичъ, видя, что Агафья Петровна выбивается изъ силъ, и зная, что она опять беременна, разъ сказалъ ей:

— Вотъ что я думаю, Агашка: хорошо бы тебѣ взять работницу.

— Это еще что за мода?—возразила жена.

— Да какъ же. Ты и ночь-ту не доспишь съ этими горластыми чертенятами, и хлѣбы-то тебѣ надо печь... и все такое. Нѣтъ ужъ, какъ хошь, я найму,—настаивалъ мужъ.

— Еще, видно, полюбовницу завелъ!

И Агафья Петровна стала слѣдить за мужемъ: какую-такую ея мужъ завелъ полюбовницу, которую онъ мѣтитъ ей въ работницы; но ничего не замѣтила. Однако она и сама подумывала о работницѣ, но никакъ не могла представить себѣ, чтобы эта работница была женщина честная, вполнѣ работящая, не воровка. Затруднялась она также и въ томъ, куда помѣстить работницу. «Не перегораживать же для нея комнату; не кормить же ее за однимъ столомъ, и опять неловко же ей давать ѣсть по мѣркѣ; а предоставь-ко ей самой брать ѣсть, она все и сожретъ». Такъ думала она, но не рѣшилась высказать это мужу, зная, что онъ будетъ подсмѣиваться надъ ней. А Иванъ Зиновьичъ каждый день заводилъ разговоръ о работницѣ, хотя и зналъ, что жену это сердитъ. Сегодня за ужиномъ онъ опять заговорилъ о томъ же.

— Ты меня, Ванька, все сердишь. И что это у васъ, у мужиковъ, за привычка такая проклятая!—проговорила сердито Агафья Петровна.

— А вотъ я возьму, да и найму.

— А вотъ я возьму ее, да и взашей.

— Нѣтъ, однако, будемъ, Агашка, говорить въ сурьезъ. Первое—ты баба хилая и водилась бы ужъ съ ребятишками! Сама же ты говоришь, что у тебя въ брюхѣ-то бахарь дрыгаетъ.

— Вотъ ты для ребятъ-то бы нанялъ какую ни на есть дѣвчонку, вѣдь твои ребята-то!

— Ну, дѣвчонка не такъ доглядитъ, какъ ты.

— Ну ужъ, шалишь, чтобы я заставила работницу квашню заводить, али хлѣбы въ печь сажать...

Немного погодя, Агафья Петровна высказала мужу, что она пожалуй наняла бы работницу, только... И она высказала ему свои опасенія. Мужъ сказалъ, что кровать можно загородить ширмами, а ширмы онъ надѣется пріобрѣсти даромъ; если работница будетъ не лѣнива, то пусть ее ѣстъ. «Больше того, что въ кишки влѣзетъ, не съѣстъ», замѣтилъ онъ, и предоставилъ Агафьѣ Петровнѣ самой найти себѣ работницу не дороже двухъ рублей въ мѣсяцъ.

Когда Иванъ Зиновьичъ привелъ Пелагею Прохоровну, комната его была слабо освѣщена; на столѣ стояла маленькая жестяная лампочка съ керосиномъ, который очень вонялъ. Агафья Петровна лежала на кровати лицомъ къ стѣнѣ и улюлюкивала ребенка, который тяжело кашлялъ и пищалъ; около кровати стояла въ ногахъ дѣтская плетеная коляска, покрытая простыней, и изъ нея тоже слышался крикъ трехлѣтняго ребенка, а напротивъ подушекъ, на небольшой скамейкѣ,—плетеная корзина, въ которой лежали пеленки, и въ которой, какъ надо было полагать, спалъ маленькій ребенокъ.

При входѣ мужа Агафья Петровна повернула голову и, увидѣвъ Пелагею Прохоровну въ ея скудномъ одѣяніи, поморщилась, но удержалась и только недовольно сказала мужу:

— Тебѣ бы только уйдти... А я тутъ покою не найду... Покачай чертенка-то?—И она, обернувшись къ стѣнѣ, принялась улюлюкивать ребенка.

— Охъ, ужъ эти мнѣ...—проговорилъ Иванъ Зиновьичъ и сталъ качать коляску.

— Позвольте, я покачаю, — сказала Пелагея Прохоровна и взялась за ручку коляски.

Иванъ Зиновьичъ отошелъ къ корзинкѣ, нагнулся и проговорилъ недовольно:

— Охъ ты, неряха эдакая! опять у те пеленки-то мокрыя!

— Не разорваться же мнѣ!.. — проговорила жена.

— Дѣвочка-то мокрая,—сказала робко Пелагея Прохоровна, когда Агафья Петровна сидѣла на кровати.

— Это у насъ всегда такъ... День-то бьемся, а ночью съ ребятами... Она все спитъ, барынька!

Мужъ и жена возились съ ребятами, перемѣнили бѣлье дѣтей, уложили ихъ, причемъ маленькому ре-

бенку Агафья Петровна дала въ рожкѣ питья съ макомъ для того, чтобы тотъ скорѣе заснулъ и дольше спалъ. Пелагея Прохоровна тоже помогала имъ, и Агафья Петровна не высказывала неудовольствія, что кухарка домохозяина находится тутъ въ такомъ видѣ; она вѣроятно уже была предупреждена, что Пелагея Прохоровна ночуетъ здѣсь.

— Ну, барыня, куда мы васъ укладемъ?—проговорилъ вдругъ Иванъ Зиновьичъ, не то обращаясь къ гостьѣ, не то спрашивая самъ себя.

— То-то, приглашать-то приглашаетъ, а того не подумаетъ, что некуда. Ишь, какой пріютъ нашелъ!—проговорила недовольно Агафья Петровна.

Пелагеѣ Прохоровнѣ было неловко, и ей Агафья Петровна показалась очень нехорошей женщиной, но она все-таки сознавала, что Агафья Петровна хозяйка.

— Я гдѣ-нибудь около порога, — проговорила она нерѣшительно.

— Зачѣмъ около порога? Ты вотъ къ столу лучше лягъ. Вотъ тебѣ одѣяло—постели, подушки... А этимъ шугайчикомъ одѣнься!—проговорила Агафья Петровна, давая одѣяло, подушку и шугайчикъ.

— Ужъ я васъ, право, не знаю, какъ и благодарить,—говорила Пелагея Прохоровна, и ей было и стыдно, и обидно, что она дошла до такого положенія.

Когда она сдѣлала себѣ постель, Иванъ Зиновьичъ погасилъ огонь въ лампочкѣ, пожелавъ Пелагеѣ Прохоровнѣ спокойной ночи, и легъ на кровать. Съ четверть часа супруги шептались, но о чемъ—Пелагея Прохоровна не могла разслышать. Наконецъ и шопотъ замолкъ, послышался съ кровати храпъ и шипѣнье носомъ.

Пелагея Прохоровна только дремала, а когда начала засыпать, заплакали дѣти, и немного погодя, Агафья Петровна встала и затопила печь. Она сегодня должна была испечь ржаного хлѣба и ситнаго. Пелагея Прохоровна тоже встала, несмотря на то, что хозяйка уговаривала ее спать, увѣряя, что та ей нисколько не мѣшаетъ. Агафья Петровна была такъ добра, что дала Пелагеѣ Прохоровнѣ свой старый сарафанъ, свои рваные башмаки и платокъ на голову. «Послѣ отдашь»,—сказала она, когда та стала отговариваться.

Работы у Агафьи Петровны было много, и такъ какъ все нужно было сдѣлать къ сроку, т. е. чтобы хлѣбъ испекся къ восьми часамъ, а самоваръ поспѣлъ къ шести, то ради этого она оставляла дѣтей на произволъ, не обращая вниманія на ихъ крикъ и на то, что они лежали мокрыя. Пелагея Прохоровна хотѣла ей помочь, но не знала, за что взяться, и боялась вмѣшиваться зря, безъ приглашенія. Замѣтивъ, что хозяйка хочетъ ставить самоваръ, она было заявила желаніе сдѣлать это, но хозяйка сказала недовольно:

— Нѣтъ, ужъ я сама...

— Да вѣдь мнѣ нечего дѣлать то.

— Успѣется.

Такъ и не дала самовара.

Стала Пелагея Прохоровна укачивать дѣтей. И это какъ будто не понравилось хозяйкѣ.

— А чего ихъ качать-то! Мало что ли они спали?.. Нѣтъ, ужъ оставь.

— А лучше, какъ они спятъ.

— Они у меня всегда въ эту пору встаютъ... А что кричатъ—эка важность! Надо же мужу-то вставать... Не качай, пожалуйста,—хуже закричатъ.

Пелагея Прохоровна ужасно тяготилась своимъ присутствіемъ здѣсь. Она хотѣла идти прочь, но уйдти было неловко и рано. Наконецъ она не утерпѣла и сказала хозяйкѣ:

— Пойду понавѣдаюсь, не всталъ ли майоръ.

— Ну, вотъ!.. Али онъ встаетъ такъ рано?

— Нѣтъ. Можетъ, и всталъ.

— Успѣешь. Вотъ чаю напьемся.

Всталъ хозяинъ. Стали пить чай и сидѣли, большею частью обращаясь къ дѣтямъ, которыя ѣли кашу. Всѣ чувствовали себя какъ-то неловко, какъ будто стѣснялись другъ другомъ; мужъ и жена обращались къ Пелагеѣ Прохоровнѣ мало, какъ будто имъ не о чемъ говорить съ нею. Но Пелагея Прохоровна замѣтила, что Агафья Петровна часто взглядывала не нее, потомъ на мужа; мужъ же глядѣлъ больше на жену; такъ и казалось, что супруги что-то рѣшали насчетъ Пелагеи Прохоровны.

— Не знаете ли вы гдѣ мѣста какого-нибудь?—спросила Пелагея Прохоровна, смотря на хозяйку.

Иванъ Зиновьичъ взглянулъ на жену, та наклонилась къ ребенку и, не торопясь, сказала:

— Нѣтъ, теперь не знаю. Ты можетъ не знаешь ли?—обратилась она къ мужу.

Тотъ немного помолчалъ.

— Такъ вы точно что совсѣмъ отъ майора?—спросилъ онъ гостью.

— Теперь ужъ я не соглашусь ни за какія деньги у него жить.

— Такъ... Ежели мѣсто будетъ—отчего же! Непремѣнно постараюсь.

Послѣ этого всѣ сидѣли молча нѣсколько минутъ. Вдругъ Иванъ Зиновьичъ пошелъ въ лавочку, сталъ въ дверяхъ; Агафья Петровна тоже пошла къ нему.

— Ну, что?—услышала Пелагея Прохоровна негромкій голосъ хозяина.

— Не годится—бѣлоручка. Ей въ господахъ только и жить,—сказала тоже негромко хозяйка.

— Думаешь, не управится?

— Нѣтъ, она ничего. Видно охоча работать-то и смирна, только не годится.

— Это какъ?

— Ну, не годится, и все тутъ... Лицомъ она мнѣ претитъ.

— О, дура!—сказалъ хозяинъ.

Хозяйка недовольная вошла въ комнату, и ей какъ будто неловко было смотрѣть въ глаза Пелагеѣ Прохоровнѣ; но Пелагея Прохоровна поняла, что разговоръ касался ея и что Большаковы вѣроятно хотѣли ее взять къ себѣ въ работницы, а потомъ раздумали.

Пришелъ дворникъ и, поздоровавшись съ хозяевами, сказалъ Пелагеѣ Прохоровнѣ, что ее зоветъ хозяинъ и что Вѣра Александровна теперь уже дома.

Я не буду утомлять читателя тѣмъ, что̀ происходило у майора по приходѣ къ нему кухарки. Скажу только, что черезъ часъ Пелагея Прохоровна пришла къ Большаковымъ со своимъ узломъ.

— Отказалъ?—спросила ее хозяйка.

— Уговаривалъ остаться, грозилъ, сама приставала... Богъ съ ними!—сказала Пелагея Прохоровна и утерла глаза, на которыхъ появились слезы.

— Напрасно. Вѣдь не всегда же онъ такой?

— Нѣтъ, ужъ будетъ. Ужъ вы мнѣ позвольте положить у васъ вещи, а я пойду поищу мѣста.

— Пусть лежитъ... И ночевать можно... А есть ли деньги то?

— Пять рублей.

Хозяйка покачала головой.

— Онъ мнѣ еще шесть рублей долженъ. Не знаю, какъ и получить.

— Ну, это дѣло трудное. Надо просить полицію, а полиція что? Извѣстно, скорѣе повѣритъ хозяину дома, чѣмъ кухаркѣ,—сказалъ Большаковъ.

Но и онъ все-таки не совѣтовалъ Пелагеѣ Прохоровнѣ вновь идти къ майору въ услуженіе.

XXIX.

Пелагея Прохоровна проходила цѣлый день безъ толку. Знакомыхъ кухарокъ у нея оказалось хотя много, но онѣ не могли обѣщать ей мѣсто; если же которая-нибудь изъ нихъ и говорила, что она думаетъ сама сойти, и такимъ образомъ Пелагея Прохоровна можетъ надѣяться поступить на ея мѣсто, то тутъ же прибавляла, что здѣсь житье каторжное, кормятъ дрянно и много вычитаютъ денегъ изъ жалованья, потому что и самимъ-то нечего ѣсть. Идти на Никольскій рынокъ Пелагея Прохоровна не знала дороги, а потому она пошла по теченію Невы, а какъ дошла до Литейнаго моста, ей захотѣлось сходить на Петербургскую сторону частью для того, чтобы узнать, какъ поживаетъ кухмистерша Овчинникова, а также и для того, чтобы ночевать тамъ гдѣ-нибудь и потомъ рано утромъ отправиться на Никольскій рынокъ тѣмъ путемъ, какимъ ее вела оттуда кухмистерша. Но жить на Петербургской Пелагеѣ Прохоровнѣ не хотѣлось; ей хотѣлось поступить въ услуженіе къ хорошимъ господамъ, живущимъ въ большомъ каменномъ домѣ.

Она была теперь свободная женщина и имѣла капитала пять рублей, и если бы у нея было въ виду свободное мѣсто, на которое бы нужно поступать послѣзавтра, то она навѣрное не пошла бы теперь по Литейному мосту, а удовольствовалась бы оглядываніемъ красивой набережной. Но и теперь на просторѣ ее занимало очень много предметовъ, всего же больше барки съ дровами, лѣсомъ и каменьями, на которыхъ рабочіе ругались оттого, что имъ нелегко было справиться съ быстрою рѣкою и хотѣлось благополучно проплыть подъ мостомъ прежде, чѣмъ отъ пристаней отплыветъ на дачи какой-нибудь пароходъ. Крики и суетня на баркахъ, судахъ и яликахъ показались Пелагеѣ Прохоровнѣ знакомыми, только люди говорили другимъ нарѣчіемъ. Ей невольно подумалось, что вотъ и эти люди пришли въ Питеръ на заработокъ, да имъ пожалуй достается еще тяжелѣе бабьяго, потому что «мы бабы все же въ теплѣ живемъ и ночью намъ не холодно; а они вотъ все на вѣтру и въ одной рубахѣ да въ штанахъ». Ее удивило, что на этихъ баркахъ нѣтъ палубы, а только въ кормахъ сдѣлано что-то похожее на клѣтушку, но эта клѣтушка должно быть тѣсна, потому что рабочіе спятъ на кирпичахъ или на дровахъ въ своихъ полушубкахъ, подложивши подъ голову полѣно или кулакъ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ грустно сдѣлалось; что-то такое удерживало ее здѣсь, и она смотрѣла въ воду, на ялики, пароходы, барки и суда. Вдругъ ей послышался какъ будто знакомый голосъ.

— Самъ-то что дѣлаешь! Самъ возьми багоръ и лови—больно прытокъ!—говорилъ этотъ голосъ.

«Что это? голосъ-то знакомый... нашъ», подумала Пелагея Прохоровна и стала еще пристальнѣе смотрѣть и наставила къ рѣкѣ лѣвое ухо, такъ какъ снизу дулъ рѣзкій вѣтеръ.

«Никакъ Панфилъ? Господи... Да нѣтъ, гдѣ ему», прошептала она. Ей не вѣрилось, но сердце билось радостно, точно чуяло, что она не одна здѣсь.

Всѣ рабочіе на судахъ заняты своимъ дѣломъ и ни одному нѣтъ времени посмотрѣть на мостъ: «кабы онъ глянулъ, я узнала бы его», подумала Пелагея Прохоровна!

Простояла она долго, но знакомый голосъ больше не повторялся; нѣсколько барокъ и судовъ проплыло подъ мостомъ и на нихъ она брата не замѣтила.

«Это поблазнило», подумала она и хотѣла идти. Но недалеко отъ нея къ перилам подошло двое судорабочихъ и стали поджидать ялика, чтобы переплыть на барку съ лѣсомъ. Они кричали на одну барку, стоявшую посрединѣ рѣки, и махали шапками.

Пелагея Прохоровна подошла къ нимъ.

— Родимые... нѣтъ ли у васъ Панфила?

Но рабочіе оказались чухны, не знающіе ни слова по-русски. Они съ удивленіемъ поглядѣли на Пелагею Прохоровну, что-то пролепетали и стали махать руками къ баркѣ.

Уплыли эти рабочіе съ чухнами, стало темнѣть и Пелагея Прохоровна вернулась къ Большаковымъ въ большомъ безпокойствѣ. Неужели ея братъ Панфилъ здѣсь, а если нѣтъ, то какимъ образомъ могъ ей слышаться родной голосъ? Ей было досадно, что она не могла увидать его. Въ этомъ безпокойствѣ и отъ нечего дѣлать она вышла на улицу.

— Что вы это все на улицѣ торчите?—услышала она голосъ Игнатія Прокопьича.

Пелагея Прохоровна вздрогнула, обернулась; Игнатій Прокопьичъ стоялъ все въ прежнемъ нарядѣ и курилъ трубку. Онъ ей вѣжливо поклонился.

— А вамъ что за дѣло?—сказала Пелагея Прохоровна; но ей стало немного веселѣе.

— Конечно, мнѣ какое дѣло... и спрашивать бы объ этомъ не слѣдовало, да вотъ вышелъ я, а вы тутъ...

— Что я мѣшаю, что ли?

— Зачѣмъ?.. только... я-то скуки ради выхожу на улицу покалякать съ кѣмъ-нибудь, потому, са-

ми знаете, на квартирѣ скучно. Товарищи или въ карты играютъ, а не то спятъ или въ кабаки ушли. А я къ такой жизни не привыкъ.

— Вы, я слышала, столяръ?

— Столяръ. Только работы мало, потому что мы работаемъ съ подрядчикомъ.

— Отчего же вы сами одни не работаете?

— Отчего? Объ этомъ я уже много лѣтъ думаю, да ничего выдумать не могу. Капиталу нѣтъ.

— Будто ужъ много нужно капиталу!

— То-то что нужно. Вотъ я теперь работаю въ артели и могъ бы скопить денегъ, только работа не каждый день. Хорошо, если позовутъ куда-нибудь...

— А на продажу?..

— Вамъ вѣрно кто-нибудь набилъ голову-то разными глупостями, потому вы такъ смѣло и разсуждаете. Легко такъ только утѣшать другихъ,—на продажу! Ну, положимъ, я куплю лѣсу, матеріалу разнаго—на это мнѣ нужно употребить сутки, али двое, чтобы купить хорошо и дешево. Ну, теперь что я стану работать? Кабы у меня заказчики были—такъ; а вотъ заказчиковъ-то у меня и нѣтъ... Положимъ, я стану дѣлать комодъ, я его проработаю двое или трое сутокъ, искать надо покупателей,—и прошла недѣля. Въ эту недѣлю я ни откуда не получалъ денегъ, нужно платить за квартиру, пить, ѣсть, табакъ курить, да еще можетъ быть я лишился заработка на сторонѣ!

Игнатій Прокопьичъ говорилъ серьезно и недовольнымъ тономъ. Пелагеѣ Прохоровнѣ показалось, что онъ говоритъ правду.

— И вы все такъ и будете работать? — спросила она.

— Хочу порѣшить... приглашаютъ меня на заводъ, на Петербургскую сторону, по кузнечному мастерству. Оно мнѣ, это кузнечное-то дѣло, лучше нравится, потому я и прежде находился въ обученіи, да потомъ захотѣлъ къ столярному пріобыкнуть. Тамъ хорошо тѣмъ, что работа постоянная, и мнѣ обѣщали по рублю двадцати въ сутки.

— Что жъ вы привязались-то къ этому?

— Да не нравится мнѣ у мастеровъ нѣмцевъ подъ командой быть. Иной мастеръ ничего не смыслитъ въ дѣлѣ, а надъ тобой куражится, какъ Богъ знаетъ какая особа.

— Вы бы русскаго выбрали.

— Русскій! Русскій еще хуже. Дай русскому начальство, онъ и изважничается, начнетъ пьянствовать... Ужъ русскій мужикъ, какъ попалъ въ начальники, совсѣмъ иной человѣкъ сдѣлался; вмѣсто того, чтобы поддержать своего брата, онъ же съ него прогулы высчитываетъ; въ кабакъ при немъ что есть нельзя придти—угощай его, а если онъ угоститъ на пятакъ, такъ перекоровъ наслушаешься на гривенникъ; и дорогой гдѣ встрѣтится, шапку ему скидывай—вездѣ начальникомъ себя считаетъ. А нѣмца мы только на работѣ и знаемъ, и нѣмца провести ловчѣе и вооружиться противъ него тоже легче. Нѣмцы въ нашу компанію не мѣшаются и намъ на нихъ плевать!

— Гдѣ же, по вашему, лучше работать?

— Вездѣ хорошо. Вотъ я ужъ много терся на разныхъ фабрикахъ и заводахъ, и знаю, гдѣ лучше и больше даютъ платы, только все это скоро мѣняется, не отъ насъ. Сперва платятъ хорошо, потомъ вдругъ обрѣжутъ и стѣснять станутъ, и причины на это у нихъ найдутся; то-де матеріалъ подорожалъ, корабли потонули, подрядчикъ обанкрутился,—мало ли чего наскажутъ. Намъ-то до всего этого нѣтъ дѣла, потому—мы рабочіе, а они намъ сбавляютъ цѣну, да еще говорятъ, что мы лѣнимся, пьянствуемъ... А нашему брату дѣться некуда. Вотъ я сказалъ давича, что нужны деньги, чтобы самому работать, только какъ ихъ скопить-то много? Работаешь цѣльный день, измучаешься какъ собака,—ну какъ отказать себѣ въ осьмушкѣ водки? Выпьешь—и легче; и утромъ бодрѣе идешь на работу. Ну, а если бы я сталъ копить эти пятаки—что бы вышло? Полтора рубля, да я бы непремѣнно захворалъ. Ну, теперь въ воскресенье куда дѣться? Дома скучно, по городу шататься не хочется, въ театръ идти—денегъ жалко, да и театру нѣтъ такого, чтобы мы понимали. Была воскресная школа за Московской заставой, я туда часто ходилъ, а теперь вотъ, говорятъ, эту школу закрыли, потому-де намъ не годится... Такъ-то, Пелагея Прохоровна. Поэтому и идешь въ кабакъ и сидишь тамъ, калякаешь со своей братіей о своихъ дѣлахъ, ну, и выпьешь! А оно, глядишь, денежки и выпалзываютъ и скопить ихъ трудно. Ну, а вы что подумываете дѣлать?

— Пойду завтра на Никольскій рынокъ продаваться. Мнѣ бы хотѣлось прачкой сдѣлаться.

— Ну, это трудновато. Правда, вы съ Никольскаго-то можете поступить въ прачки къ какой-нибудь женщинѣ, только я бы вамъ не совѣтовалъ, потому что чѣмъ больше бабъ, тѣмъ больше у нихъ ссоръ и зависти. Это не то, что у насъ, мужчинъ. А вотъ вы подождите немного, нельзя ли устроить такъ, чтобы вамъ поступить въ кухарки къ нашему брату.

Пелагея Прохоровна обрадовалась, но ей показалось неловко поступить въ кухарки по протекціи этого человѣка, который вѣроятно будетъ жить въ одной съ нею квартирѣ. Еще пожалуй ее будутъ считать любовницей его.

— Я не понимаю, какъ это?—спросила она.

— А такъ. Завтра я переберусь на квартиру на Петербургскую, поживу тамъ съ недѣлю и поговорю товарищамъ, не согласятся ли они жить у васъ.

— Какъ же это у меня-то?

— А вы наймете квартиру,—мы вамъ дадимъ денегъ,—купите свои кухонныя принадлежности. Я вамъ пожалуй и квартиру устрою.

— Нѣтъ ужъ, покорно благодарю, — сказала Пелагея Прохоровна, думая, что у Игнатья Прокопьича есть злой умыселъ.

— Если не я, то кто-нибудь да долженъ же помочь вамъ. Вѣдь у васъ мужа-то нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ну, то-то. А если я вамъ предлагаю это, то вы не думайте, что я съ умысломъ. Я, какъ и всякій другой, предлагаю потому, что знаю, что вы еще недавно въ Петербургѣ и не успѣли еще избаловаться. Это я говорю безъ хвастовства, а вы дѣлайте по своему разсудку.

— А если я до того времени истрачу деньги и мнѣ все-таки этого мѣста не будетъ?

— Кто же вамъ говоритъ, чтобы вы сидѣли сложа руки... Только вотъ что, Пелагея Прохоровна: если вы будете намѣрены кормить насъ, да куда-нибудь поступите на мѣсто, въ такомъ случаѣ оставьте адресъ у Ивана Зиновьича, чтобы я могъ извѣстить васъ. А если не согласны, тогда и не нужно оставлять. Прощайте, Пелагея Прохоровна.

— Я вамъ хотѣла сказать, что мнѣ сегодня почудилось, — сказала Пелагея Прохоровна уже во дворѣ.

— Какъ это?

Пелагея Прохоровна разсказала, какъ она слышала голосъ брата Панфила.

— Что же мудренаго. Должно быть онъ.

— Какъ же бы мнѣ разыскать его?

— Ну, разыскивать-то теперь его не слѣдуетъ, потому что вы не знаете, на какой онъ баркѣ плылъ и въ какое мѣсто эта барка пристанетъ. Вѣдь въ Питерѣ каналовъ много.

— Такъ значитъ я его и не увижу?

— Надо подождать недѣли двѣ. Въ это время они разгрузятъ барки и вѣроятно будутъ жить на квартирахъ въ городѣ, тогда и можно будетъ справиться въ адресномъ столѣ. А то можетъ какъ-нибудь и встрѣтитесь. Только врядъ-ли.

И они разстались. По приходѣ къ Большаковымъ Пелагея Прохоровна застала тамъ сцену. Только что она вошла въ комнату, Иванъ Зиновьичъ ударилъ кулакомъ по спинѣ Агафью Петровну, которая голосила. Увидавъ Пелагею Прохоровну, Большаковъ смѣшался и ушелъ въ лавку, а Агафья Петровна, стараясь казаться правою, подошла къ мѣшкамъ и проговорила:

— Поскуда проклятая! Любовницъ себѣ завелъ. Не знаю, что ли, для чего ты хозяйскую кухарку въ себѣ сманилъ...

Но Большаковъ не вышелъ изъ лавочки, потому что къ нему въ это время пришли покупатели.

Пелагею Прохоровну точно кипяткомъ обварило отъ словъ Агафьи Петровны, но она удержалась, постояла минутъ съ пять, думая, что ей сказать въ свою защиту, но ничего не сказала, сообразивъ, что съ такой женщиной, какъ Большакова, говорить трудно. Она стала сбираться. Агафья Петровна замѣтила это, но не обратила вниманія.

Пелагея Прохоровна стала прощаться.

— Куда же ты? Вѣдь ужъ, поди, скоро десять часовъ!—проговорила съ полуудивленіемъ и съ скрытою радостью хозяйка.

— Куда-нибудь... Покорно благодарю за ночлегъ... Сколько вамъ за это?

Хозяйка обидѣлась.

— Спрашивай вонъ его: онъ тебя пригласилъ, а не я.

Изъ лавки вошелъ въ комнату Большаковъ. Его трясло отъ злости и глаза сдѣлались красными.

— Кто здѣсь хозяинъ?—крикнулъ онъ и сжалъ кулаки.

— Ну, бей! Убей меня! И такъ ужъ кожа да кости,—проговорила та рѣзко и подошла къ нему очень близко, откинувши голову назадъ, какъ будто она сдѣлана изъ чугуна и для нея ничего не значатъ здоровые кулаки Ивана Зиновьича.

— У!!..—проговорилъ сквозь зубы Иванъ Зиновьичъ и, отошедши къ мѣшкамъ, уперся на нихъ спиною.

— Оставайся здѣсь, куда тебѣ?—сказалъ онъ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Покорно васъ благодарю... Я каюсь, что согласилась придти сюда-то... я...

— О, дуры эти бабы!! Обидѣла она тебя, что ли, чѣмъ?

— Это ужъ мое дѣло!

— Какъ же! ей съ Петровымъ надо на улицѣ торчать,—сказала Агафья Петровна.

— Молчи!—крикнулъ на жену Иванъ Зиновьичъ:—однако куда же ты пойдешь-то?

Пелагея Прохоровна не знала, куда ей идти.

— А ты давно знакома съ Петровымъ-то?—спросилъ опять Пелагею Прохоровну Иванъ Зиновьичъ.

Это допытыванье взбѣсило Пелагею Прохоровну. До сихъ поръ Иванъ Зиновьичъ обращался съ нею вѣжливо, а теперь вдругъ сдѣлался грубымъ и точно за что-то озлобленнымъ на нее человѣкомъ.

— А вамъ какое дѣло, знакома я, или нѣтъ?

— Конечно... Оно тоже вашему брату безъ любовника какъ можно...—сказалъ ядовито Иванъ Зиновьичъ, и ушелъ въ лавку. Пелагея Прохоровна вышла во дворъ со своимъ узломъ, а потомъ пошла машинально по направленію къ Смольному монастырю.

XXX.

Прошедши Смольный монастырь. Пелагея Прохоровна затруднилась, въ какую идти ей сторону. До сихъ поръ она шла, сама не зная, куда идетъ; ей хотѣлось проходить до утра и утромъ отправиться на Литейный мостъ, чтобы еще посмотрѣть хорошенько на барки. Она думала, что если разыщетъ брата, то будетъ звать его жить съ собою, и тогда пожалуй можетъ заняться приготовленіемъ кушанья для рабочихъ, какъ говорилъ Петровъ; безъ брата же одной нанимать квартиру и жить съ рабочими въ одной избѣ она считала дѣломъ неудобнымъ. Ужъ если теперь про нее Богъ знаетъ что говорили, то тогда и житья ей не будетъ. Петровъ предлагалъ ей жить вмѣстѣ, и это Пелагеѣ Прохоровнѣ не понравилось: «нѣтъ ли тутъ чего-нибудь худого?—подумала она:—можетъ быть онъ воображаетъ, что я стану съ нимъ жить, какъ жена, такъ и онъ значитъ дурной человѣкъ, и такимъ манеромъ я жить не согласна, пусть другую для этого избираетъ». Теперь у ней отпала всякая охота выйти замужъ. Въ Петербургѣ она видѣла много дурного и находила семейную жизнь неудобною для рабочаго человѣка. «Вотъ бы такъ устроиться, чтобы пріобрѣтать больше денегъ, чтобы и комнату имѣть, и сытой быть! а что если мужчина обѣщаетъ, такъ это только одна приманка и, онъ только мѣшать бу-

детъ, а потомъ и мои деньги вытягивать станетъ. Нѣтъ, ужъ одной не въ примѣръ лучше». Такъ думала она дорогой и очутилась опять у Смольнаго монастыря. Здѣсь она стала чувствовать голодъ и усталость, а до утра казалось еще далеко. Пошла она по какой-то улицѣ. Фонари стоятъ далеко другъ отъ друга, темно, дома деревянные, тамъ и сямъ лаютъ собаки, хоть куда провинція. «Что за дьяволъ: живу въ Петербургѣ, а все на деревянные дома натыкаюсь. Хоть бы постоялый домъ попался». Но постоялыхъ домовъ въ темнотѣ она не замѣтила. Присѣла она на тротуаръ, грустно ей сдѣлалось, тяжело, заплакала она; потомъ ей стыдно сдѣлалось за слезы и малодушіе. «Что мнѣ горевать-то? я одна; дѣтей у меня нѣтъ. Встала да пошла, а мѣсто найдется. Что жъ дѣлать, если господа дрянные; можетъ и лучше будетъ». Она пошла опять и вошла въ большую улицу, по обоимъ сторонамъ которой стояли большіе каменные дома; фонари стояли недалеко одинъ отъ другого; здѣсь даже и извозчики были, но они дремали на пролеткахъ. Пелагея Прохоровна остановилась, посмотрѣла назадъ, соображая, идти ли ей впередъ, или повернуть направо или налѣво. Она подошла къ одному извозчику, который, заслышавъ чьи-то шаги, очнулся и поглядѣлъ на стороны.

— Дядя, а близко Петербургская сторона?— спросила она извозчика.

— На что?—спросилъ тотъ сонным голосомъ.

— Надо.

— А что у те въ узлу-то?

— Вещи.

— Чать, украла!.. Дай три цалковыхъ — отвезу... Безъ сумленія! Въ цѣлости доставлю.

— Нѣтъ, ты скажи, я пойду сама.

— Ишь ты! Дойдешь, говоришь.

— Дуракъ!

Она плюнула и пошла налѣво. Извозчикъ поѣхалъ за ней.

— Эй, барыня! Пра, представлю. Три цалковыхъ. Подь на десять цалковыхъ въ узлѣ-то будетъ!—приставалъ извозчикъ.

— Отвяжись!

— Подлинно, ты мазура отмѣнная: ишь, какъ шагаешь!.. Небось трусу празднуетъ, — говорилъ извозчикъ.—Слышь, тетка?

— Ну?

— Садись! даромъ отвезу.

— Пошелъ, дуракъ... Ты скажи лучше, гдѣ постоялый дворъ?

Извозчикъ захохоталъ.

На встрѣчу Пелагеѣ Прохоровнѣ шелъ медленно городовой.

— Стой! — сказалъ онъ, загораживая дорогу Пелагеѣ Прохоровнѣ:—что несешь?

— Воровка. За рынкомъ на Невскомъ увидалъ... На Петербургскую сторону хотѣла удрать, да я ее до тебя тянулъ,—сказалъ извозчикъ.

— Ахъ ты, подлая рожа! Ты же меня звалъ туда, просилъ три цалковыхъ даромъ, — сказала Пелагея Прохоровна извозчику.

— Ну, ну, иди!—И гордовой толкнулъ Пелагею Прохоровну такъ, что она очутилась на мостовой. Городовой сталъ брать ея узелъ.

— Кто еще позволилъ тебѣ брать?—крикнула Пелагея Прохоровна и толкнула городового.

— А, такъ ты такъ! — Городовой ударилъ ее по лицу.

Городовой и извозчикъ усердно поколотили пойманную женщину и отняли у нея узелъ.

Пелагея Прохоровна опомнилась уже въ пролеткѣ, которую трясло ужасно отъ скверной мостовой. Она въ первый разъ ѣхала въ Петербургѣ въ пролеткѣ, но сама не знала, куда ее везутъ. Ея спутники: городовой, не тотъ, который ее остановилъ, а уже другой, сидящій съ ней рядомъ, и извозчикъ, спина котораго была на четверть отъ носа Пелагеи Прохоровны, молчали. Дорога была впрочемъ не дальняя. Извозчикъ остановился передъ частью, отличающеюся отъ другихъ домовъ особеннымъ устройствомъ, мрачными, производящими непріятное впечатлѣніе, стѣнами, затхлымъ воздухомъ двора... Городовой приказалъ ей слѣзть.

— Деньги!—крикнулъ городовой Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Какія?

— Что тебя, подлую, даромъ что ли возить-то?—И онъ ударилъ ее по спинѣ своимъ здоровымъ кулакомъ.

— Хорошенько ее! Воровка!—поддакнулъ дежурный у воротъ.

— У меня нѣтъ денегъ, хошь убейте,—отвѣтила со слезами Пелагея Прохоровна, сторонясь отъ поднятой руки городового. Извозчикъ сталъ ругаться, а городовой провелъ Пелагею Прохоровну чернымъ узкимъ дворомъ въ узкое пространство, едва-едва освѣщенное лампочкой съ керосиномъ, и потомъ ввелъ въ полуосвѣщенную съ закоптѣлыми стѣнами комнату. Въ ней за однимъ столомъ сидѣлъ дежурный и дремалъ, на другомъ большомъ столѣ спалъ городовой на спинѣ во всемъ облаченіи.

— Воровку привелъ, — отрапортовалъ городовой дежурному.

— А!—сказалъ дежурный.—Гдѣ?

Городовой сказалъ.

— И прекрасно. Иди-ка сюда!

Пелагея Прохоровна подошла. Спавшій на столѣ городовой тоже подошелъ и ждалъ приказа дежурнаго.

— Гдѣ же ты, матушка, подтибрила узелъ?

— Это мои вещи.

— Твои?!—произнесъ, скрипя зубами, дежурный.

Всячески старались отъ Пелагеи Прохоровны вывѣдать сознаніе: гдѣ она украла вещи? Ея слова, что узелъ принадлежитъ ей, что она отошла отъ мѣста, только раздражали дежурнаго и городовыхъ, вѣроятно потому, что имъ много приводилось имѣть дѣлъ съ разными мошенниками, которые говорили имъ то же. Къ тому же дѣло было ночное, когда прислуга рѣдко отходитъ отъ господъ.

Натѣшившись вдоволь, такъ что бѣдная безза-

щитная женщина еле могла передвигать ногами, дежурный приказалъ городовому развязать узелъ. Въ узлѣ оказались: сарафанъ, ситцевое поношенное платье, простой терновый голубоватаго цвѣта платокъ, двѣ рубашки, четыре пары чулокъ, зеркальце, клубокъ нитокъ, коробочка съ иголками и булавками, катушка съ нитками, начатый чулокъ съ вязальными спицами, янтарныя бусы, разные ситцевые и суконные лоскутки, наперстокъ, фольговый образокъ—однимъ словомъ, все имущество Пелагеи Прохоровны.

— Ну гдѣ же ты взяла это?—спросилъ опять дежурный Пелагею Прохоровну.

— Ей-Богу же, я вчера отошла отъ мѣста... Сегодня искала другого, не нашла... Съ квартиры прогнали.

— Такъ... знаемъ мы эти отговорки. А зачѣмъ ты отъ городового убѣжала? Зачѣмъ била городового?

— Не бѣгала я, вретъ онъ. Меня извозчикъ звалъ. Вретъ онъ, чтобы я...

— Кто ты такая?

Пелагея Прохоровна сказала.

— Деньги есть?

— Есть пять цалковыхъ.

— Гдѣ?

— Въ чулкѣ.

Пелагея Прохоровна подошла къ своимъ вещамъ для того, чтобы взять чулки, но ее оттолкнули. Одинъ изъ городовыхъ сдернулъ съ ея головы платокъ, другой сдернулъ шугайчикъ; сняли также съ ея руки кольцо, подаренное ей покойнымъ мужемъ. Пелагея Прохоровна заплакала, и просила отдать ей хоть обручальное кольцо.

— Когда будемъ выпускать, надѣнемъ. Все будетъ цѣло. Отвести ее въ секретную! — сказалъ дежурный городовому и далъ ему какую-то записку.

— Пошелъ!—произнесъ городовой и толкнулъ ее впередъ себя.

Городовой повелъ ее черезъ дворъ. Они поднялись во второй этажъ. Тамъ дверь не была заперта на замокъ. Комната большая, но тоже грязная и плохо освѣщенная. Въ ней сидѣли тоже городовые. Отсюда Пелагею Прохоровну провели узкимъ, темнымъ, съ прокислымъ воздухомъ корридоромъ, по обѣимъ сторонамъ котораго сквозь рѣшетки слышались женскіе голоса. Женщины голосили, кричали и ругались. Городовой провелъ Пелагею Прохоровну въ темное пространство, толкнулъ ее туда и заперъ дверь съ деревянною рѣшеткою, но онъ ее не на замокъ заперъ, а ощупью завязалъ веревкою. Повидимому здѣсь никого не было, однако Пелагея Прохоровна на что-то наступила.

— Какая тутъ еще поскуда наступаетъ?—проговорила какая-то женщина и пошевелилась.

Заговорили еще нѣсколько женщинъ.

— Поди, опять воровку привели?

— Чтой-то нонѣ ихъ какъ много! Господь съ ними.

— Небось ты только одна и есть, поскуда!

— Что ругаешься-то? никакъ ужъ десятый разъ здѣсь, и все въ Сибирь угодить не можешь!

— Вотъ ты вѣрно туда хочешь!

Я не стану передавать всего, что говорилось женщинами въ темнотѣ. Пелагея Прохоровна, не знавшая тюремной жизни, видавшая ее вскользь во время посѣщенія въ острогѣ своего брата, ужаснулась, что она попала въ такое общество. Лицъ она не видѣла, не могла опредѣлить того, сколько тутъ помѣщается женщинъ, но слова, произносимыя женщинами, точно острою иглою прокалывали ея сердце. Она слышала какую-то злобу на все и на всѣхъ, женщины ругались не хуже мужчинъ, отчего Пелагею Прохоровну пробирала дрожь, и ей становилось стыдно за себя и за эти голоса. Впродолженіе нѣсколькихъ минутъ она не слыхала ласковаго слова, только гдѣ-то кто-то охалъ и стоналъ какой-то старческій женскій голосъ. Не сонъ ли это?.. Нѣтъ. Она слышитъ голоса, чувствуетъ, что у нея голова отяжелѣла, ее трясетъ отъ испуга и отъ чего-то такого, чего она не въ состояніи опредѣлить; у нея болятъ груди, шея; на лбу, недалеко отъ лѣваго виска, она чувствуетъ свѣжую ссадину, точно она только-что ударилась лбомъ объ стѣну; къ тому же и ноги болятъ...

«Господи, что это со мной? Неужели это въявь? Сколько времени я жила, сколько городовъ прошла, и вдругъ въ самомъ Питерѣ...», проговорила она шопотомъ. Сердце у ней болѣзненно заныло, она присѣла на полъ, подперла голову руками, но слезы не шли изъ глазъ, въ головѣ точно камень, и всю мозговую ея дѣятельность словно придавило что.

Въ такомъ безчувственномъ состояніи она пробыла неизвѣстно сколько времени до тѣхъ поръ, пока кто-то не запнулся объ нее.

— О, чтобъ тѣ сдохнуть!—произнесла какая-то женщина и стала пинать ногами.

— За что жъ ты меня бьешь-то? виновата я что ли, что мѣста нѣту?—проговорила болѣзненно Пелагея Прохоровна.

Женщина изругалась и стала отпирать дверь.

— Кто хочетъ на дворъ, выходите въ разъ!—проговорила другая женщина.

Нѣсколько женщинъ не торопясь вышли въ корридоръ и не отъ одной изъ нихъ достались пинки Пелагеѣ Прохоровнѣ. Но дѣваться ей было некуда, во-первыхъ потому, что по темнотѣ она не могла отыскать свободнаго мѣста, а во-вторыхъ, если она подходила куда-нибудь, ее оттуда гнали, такъ какъ каждая женщина дорожила своимъ мѣстомъ. Но нашелся одинъ голосъ, который заступился за Пелагею Прохоровну.

— Какъ вамъ не стыдно, право!.. Ну, виноваты ли мы, что насъ насажали въ тѣсное мѣсто. Умѣстимся какъ-нибудь.

— Ишь, заступница какая!

— Пусть подъ нары лѣзетъ!—заговорили женщины.

— Небось, сами-то не лѣзете подъ нары?—проговорила защитница.

— Толкайте ее: пусть она, барышня эдакая, подъ нары лѣзетъ.

— Она ребенка убила!

— И слѣзу! Пойдемъ подъ нары, женщина!

Говорившая ущупала Пелагею Прохоровну; казалось, ей ужъ эта камера была знакома. Онѣ залѣзли подъ нары и легли, подсунувши подъ голову кулаки.

— Я уже здѣсь третьи сутки, привыкла!—проговорила болѣзненно женщина.

Въ это время въ камеру втолкнули дѣвочку, которая ревѣла. Сперва женщины ругали дѣвочку за ея плачъ, потомъ принялись ее разспрашивать, за что ее посадили. Она отвѣчала сначала, что не знаетъ, потомъ, что хозяйка ея, прачка, стала укорять ее въ томъ, что она только ѣстъ хлѣбъ, а ничего не дѣлаетъ, а потомъ она что-то сдѣлала съ хозяйкой, и хозяйка ее прогнала. Два дня она ходила по-міру, пряталась на чердакахъ, гдѣ бѣлье сушатъ, и вотъ ее сегодня ночью одна баба нашла на чердакѣ. Потомъ ее били, призвали городового, насказали, что эта дѣвка должно быть уже не въ первый разъ пришла за кражей на чердакъ, потому что многихъ вещей недосчитывались.

— И вотъ лопни мои глаза, чтобы я хоть когда-нибудь что украла!—сказала дѣвочка въ заключеніе.

Нѣсколько голосовъ было за дѣвочку, меньшинство не вѣрило. Пелагеѣ Прохоровнѣ изъ этихъ разговоровъ стало понемногу ясно, что не всѣ женщины виноваты въ взводимыхъ на нихъ преступленіяхъ. «Вѣдь вотъ и я шла со своими вещами, а сказали, что украла... Будто ужъ здѣсь и съ узлами по ночамъ никому ходить нельзя?»—думала она. Сосѣдка ея молчала.

— Неужели здѣсь все нехорошія женщины?—спросила вдругъ Пелагея Прохоровна сосѣдку.

Та промолчала. Она или не разслышала, или слушала, какъ одна женщина учила другую показывать.

— Экая важность! ты скажи: потому молъ я взяла ложки, а потомъ заложила, что она, хозяйка, мнѣ за мѣсяцъ деньги не заплатила. Неужели мы такъ и должны даромъ работать?

Это заключеніе раздѣляли всѣ женщины.

— И гдѣ это справедливость? и это Питеръ.

— Поди жъ ты! А вотъ здѣсь-то что творится!

Эти слова относились можетъ быть къ тому, что откуда-то слышались свирѣпые мужскіе голоса и плачъ женщины.

— Господи помилуй!—проговорило нѣсколько женщинъ въ разъ.

На нѣсколько минутъ въ каморкѣ настала тишина.

— Спишь?—спросила сосѣдку Пелагея Прохоровна, у которой начали болѣть бока отъ жесткаго пола и которой было не до сна.

— Я уже отвыкла спать,—произнесла сосѣдка охриплымъ голосомъ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ жалко стало сосѣдки, и она не рѣшилась спросить ее, за что она сидитъ. Но говорить хотѣлось, хотѣлось высказать, что ее взяли безвинно.

— Что же потомъ будетъ? неужели то же, какъ и теперь?—проговорила Пелагея Прохоровна.

— Богъ знаетъ!.. Я совсѣмъ измучилась за это время... Въ моей головѣ не знаю что дѣлается... Я думаю, что если пробуду здѣсь еще двои сутки, то съ ума сойду. Ужъ я просилась въ больницу,—не обращаютъ вниманія. Говорятъ, что отсюда берутъ въ больницу только такихъ, которые ни руками, ни ногами не могутъ пошевелить.

Пелагеѣ Прохоровнѣ голосъ сосѣдки показался знакомымъ, и самое произношеніе ея не походило на мужицкое.

— Ужъ, право бы, лучше помереть. И такъ жизнь была нехороша... Сама отъ себя я отвергла ту жизнь, какою живутъ въ провинціи!

Пелагея Прохоровна задумалась надъ ея словами. Она говоритъ, что ей хорошо бы жилось, если бы она захотѣла. Зачѣмъ же это она до такой степени дошла?

А какимъ манеромъ она-то, Пелагея Прохоровна, сюда попала? Вѣдь и ей сколько попадало случаевъ жить хорошо, да она не согласилась же, а вотъ захотѣла въ столицу. И за коимъ чортомъ ее толкало въ Петербургъ? Для того, что ли, чтобы ее обвинили въ воровствѣ и сослали въ Сибирь!.. Эко, право, хорошее счастье! Мимо тѣхъ или черезъ тѣ же мѣста родины придется идти, только безвинно опозоренной. Правда, ее тянуло сюда другое дѣло,—любовь къ Короваеву—только вѣдь онъ ушелъ на желѣзную дорогу.

— Вы чѣмъ занимаетесь?—вдругъ спросила ее сосѣдка.

— Кухаркой была,—отвѣтила Пелагея Прохоровна.

— Давно здѣсь?

— О Петрѣ-Павлѣ пришла.

— Ну, я немного раньше.

— Что это, ровно вашъ-то голосъ мнѣ знакомъ?

— И мнѣ-то кажется, какъ будто я васъ видала гдѣ-то. Вы не хохловскія?

— Нѣтъ, я издалека, изъ Терентьевскаго завода. Я во многихъ городахъ живала.

— Ну, а я не живала во многихъ городахъ, только теперь пожалуй придется пройти много городовъ, если обвинятъ.—И сосѣдка заплакала.

Пелагея Прохоровна старалась ее утѣшить.

— Богъ не безъ милости. Онъ видитъ, кто правъ, кто виноватъ.

— То-то, что на Бога-то мало обращаютъ вниманія.

— Ну, что жъ, и тамъ люди живутъ, да еще лучше пожалуй.

— Я тоже понимаю такъ, что тамъ уже предѣлъ всякому новому желанію. Умремъ, такъ и всему конецъ—я пожалуй согласна на это.

— Ну вотъ!—сказала недовольно Пелагея Прохоровна.

— Вѣдь меня обвиняютъ въ томъ, что я задушила своего ребенка, хоть я вовсе не имѣла этого намѣренія, а просто заспала его оттого, что двѣ ночи передъ тѣмъ не спала. Я ребенка своего любила. Хорошо, если мнѣ повѣрятъ и не сошлютъ!

— Послушайте-ка: вы не продавались на Никольскомъ рынкѣ?—спросила вдругъ сосѣдку Пелагея Прохоровна.

— Стояла передъ праздникомъ... кажется, передъ Троицей.

— Вы... я забыла имя-то...

— Евгенія Тимофеевна.

— А я Пелагея Прохоровна.

— То-то, я слушаю: кажется мнѣ голосъ-то вашъ знакомъ.

— И мнѣ тоже... Ну, вы еще тогда говорили, что въ Питерѣ къ генералу какому-то ходили. Вѣдь вы въ швеи нанялись!

— Да, я у этой женщины, которая меня наняла съ Никольскаго, три мѣсяца съ половиной выжила; и никому не совѣтую жить у нея. Ужъ лучше наняться въ кухарки, чѣмъ къ ней. Это ничего, что она отставная чиновница и что у нея есть любовникъ, но то обидно, что она хочетъ чужими руками деньги зарабатывать. Ничего бы и то, если бы деньги шли въ прокъ, а то скверно, что деньги идутъ на водку и пиво любовнику, и доходитъ она до того, что къ концу мѣсяца за квартиру нечѣмъ заплатить, ѣсть нечего, и тогда она заставляетъ работницъ голодать.

— Чѣмъ же она занимается?

— Она швея и швея хорошая. Швеей она была еще дѣвушкой и чиновникъ на ней женился,—какъ онъ говоритъ,—не изъ-за красоты, а изъ-за того, что она добываетъ деньги, даже больше его: онъ, кажется, получалъ одиннадцать рублей въ мѣсяцъ, а она вышивала не меньше, чѣмъ на пятнадцать рублей. Ну, до замужества она занимала комнату и деньги у нея были кое-какія, а когда вышла замужъ, тогда они наняли квартиру, чтобы пускать жильцовъ. Тутъ она и просадила всѣ денежки, потому что нужно было купить мебели и кухарку нанять. Годовъ пять, что ли, она билась съ мужемъ; онъ былъ смирный, не пьяница, только хворалъ часто и наконецъ померъ отъ чахотки. Пока былъ живъ мужъ, она не очень усердно брала работу, и стало быть тѣ, отъ которыхъ она получала ее въ дѣвушкахъ, ужъ смотрѣли на нее иначе и давали работу другимъ. Послѣ смерти мужа она увидѣла, что приходится трудиться такъ же, какъ и до замужества. Стала она работать крѣпко, вставала рано, ложилась поздно, а видитъ, что одной и каша во рту не спора—заработокъ все такъ же плохой. Вотъ и задумала она нанять женщинъ. Насъ у нея было три, и всѣ мы оказались плохими швеями,—такъ по крайней мѣрѣ она говорила; цѣлый мѣсяцъ она на насъ ворчала, однако не отказывала, а какъ кончился мѣсяцъ, сказала, что у нея нѣтъ денегъ, и стала умолять, чтобы мы остались. Ну, двѣ-то швеи ушли, а я осталась, потому что у меня денегъ въ то время было столько же, сколько и на Никольскомъ рынкѣ, да и башмаки обносились. Остались мы вдвоемъ, работы она набираетъ много, а намъ двумъ не управиться. Опять начали ей отказывать. Опять она наняла швею — переманила откуда-то. Это швея попалась изъ бойкихъ; пошли у нихъ ссоры, стала швея уходить по праздникамъ куда-то въ гости, хозяйка все на меня и свалила. Такъ мы и бились.—Евгенія Тимофеевна замолчала.

Стало свѣтать. Началась перекличка. Женщины этой каморы вышли въ корридоръ, но ихъ оттуда гналъ прочь назадъ городовой. Теперь оказалось, что и въ этой каморѣ было окно, только оно было маленькое, находилось немного пониже потолка и выходило къ какой-то лѣстницѣ. Рядомъ съ этой каморой была большая камора человѣкъ на двадцать-пять, но въ ней было не больше двадцати женщинъ. Въ этой каморѣ было квадратное окно со стеклами и рѣшетками; но куда выходило оно изъ каморы, опредѣлить трудно, такъ какъ оно отъ наръ было аршина два съ половиною вышины. Напротивъ этой каморы была секретная камора съ желѣзною рѣшетчатою дверью, запертою на замокъ. Въ ней была одна женщина, которая теперь стояла у двери и смотрѣла какъ-то дико, точно потеряла разсудокъ.

— За что тебя, голубушка, посадили?—спрашивали эту женщину другія арестантки.

Женщина молчала.

— Не бойся, не выдадимъ.

Женщина горько улыбнулась.

— Пошли, пошли!! Ты что стоишь? Въ карцеръ хошь?—говорилъ городовой, обращаясь то къ арестантамъ, то къ одиночной женщинѣ.

— Что это за карцеръ, Евгенія Тимофеевна?

— А это около отхожаго мѣста есть такой чуланъ безъ окна. Въ него помѣщается только одинъ человѣкъ. Я, не знаю, что-то сказала въ первый день дежурному, онъ меня и заперъ. Въ немъ едва сидѣть можно. Я въ немъ просидѣла часа съ три и мнѣ это время показалось цѣлою вѣчностью: темно, сыро, скребутся мыши, вонь... Хуже, чѣмъ въ подземельѣ.

Сдѣлалось еще свѣтлѣе; въ той каморѣ, въ которой находилась Пелагея Прохоровна, было, кромѣ нея и дѣвочки, восемь женщинъ. Пять изъ нихъ обвинялись въ нищенствѣ, остальныя—въ воровствѣ. Обвиняемыя въ воровствѣ говорили, что онѣ крали потому, что по отходѣ отъ мѣста имъ бы не на что было прожить трое сутокъ. Но такихъ воровокъ, у которыхъ была бы страсть къ воровству, не было; тоже и въ другой каморѣ, въ которой были двѣ женщины, подкинувшія своихъ младенцевъ, одна, хотѣвшая задавиться, двѣ—горничная и кухарка, обвиняемыя въ намѣреніи отравить графскую собачку, и одна пьяная женщина, поднятая въ безчувственномъ состояніи на мостовой. Въ секретной сидѣла женщина, обвиняемая въ сообщничествѣ по какой-то крупной кражѣ и убійству.

Старостихи, тоже арестантки, сидящія подолгу по случаю неимѣнія паспортовъ, пошли получать хлѣбъ и щи. Пелагеѣ Прохоровнѣ не хотѣлось теперь ѣсть. Надъ ней смѣялись женщины.

— Что, видно, не хочешь солдатскаго-то хлѣба? Вонъ барышня-то небось привыкла.

У Евгеніи Тимофеевны лицо было блѣднѣе прежняго. Казалось, что она въ послѣднее время или была больна, или вынесла много душевныхъ страданій. На ногахъ ея были съ прорванными носками башмаки. На ней самой была ситцевая блуза. У другихъ женщинъ были или сарафаны, или ситце-

выя платья, у трехъ головы повязаны платками, а одна—молодая и высокая, обвиняющаяся въ кражѣ,—была даже въ кринолинѣ.

— Тебя, баба, за что взяли-то? — спросила старостиха, старуха, Пелагею Прохоровну.

Пелагея Прохоровна начала разсказывать.

— Ну, просидишь съ мѣсяцъ!

Пелагея Прохоровна чуть не замерла.

— Что, испугалась?.. Ничего, привыкнешь. Вонъ барышня-то тоже привыкла... Садись, барышня, поди, болятъ бока-то?—говорила худощавая старушонка въ какомъ-то рваномъ пальто на ватѣ, принадлежавшемъ канцеляристу, такъ-какъ на немъ еще сохранилась одна мѣдная, заржавѣлая пуговица, о которой старушонка повѣствовала, что она эту пуговицу бережетъ какъ драгоцѣнность, потому что только оторвется,—глядь, ее, старушонку, и заберутъ въ часть.

Всѣмъ женщинамъ было очень скучно. Пожалуй онѣ и говорили, но все было старо, давно всѣмъ надоѣло. Сдѣлалось скучно и Пелагеѣ Прохоровнѣ. Хотя она и сидѣла на нарахъ, но по случаю недолгаго здѣсь пребыванія, кромѣ Евгеніи Тимофеевны, ни одна изъ женщинъ не смотрѣла на нее ласково. Напротивъ, насчетъ ея молодости и лица онѣ отпускали остроты и старались чѣмъ-нибудь уязвить ее для того, чтобы развлечься хоть на нѣсколько минутъ. Но Пелагея Прохоровна отмалчивалась, а это молчаніе, въ кругу говорящихъ и издѣвающихся надъ ней женщинъ, та же пытка... Пробовала было она оборвать женщинъ—не помогло: ея молчаніе имъ не нравится, а о чемъ она станетъ говорить съ ними?

Женщины заговорили, оживились; но это оживленіе было не веселое. Всѣ говорили дрожащимъ голосомъ.

— Что-то Господь пошлетъ?

— Выпустятъ, или нѣтъ?

— Дожидай! Чать, въ тюрьму сведутъ...

— Ну, тамъ, говорятъ, лучше здѣшняго.

Пристали къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Ты гдѣ жила?

Та сказала.

— Ну, теперь будетъ слѣдствіе, спрашивать будутъ, у кого украла.

— Да я не украла.

— Ну, полно-ко... Ты прописана ли? И паспортъ въ кварталѣ?

— Паспортъ у меня въ платьѣ.

— Покажи!

— Да тамъ, въ узлу.

— Ахъ ты, дура! Да ты погибла теперь.

— Какъ?

— А такъ. Теперь у тебя паспортъ вытащатъ и изорвутъ, или паспортъ бабѣ какой-нибудь чужой всунутъ въ платье... Гдѣ узелъ-то лежитъ? въ какомъ углу?

— Походишь же ты по частямъ. Придется посидѣть съ годокъ...—и такъ далѣе.

Пелагею Прохоровну очень напугали арестантки, и она рѣшительно не знала, что дѣлать. Она готова была разломать стѣну, чтобы выскочить изъ этого ада. Не меньше ея мучилась и Евгенія Тимофеевна, но Пелагеѣ Прохоровнѣ казалось, что той какъ будто легче. Она подумала, что эта барышня должно быть не изъ добрыхъ, потому что она и съ родными пересорилась изъ-за чего-то непонятнаго, и говорила ей ночью какъ-то непонятно. «Кто ее знаетъ,—закралось у Пелагеи Прохоровны сомнѣніе,—изъ какихъ она? Можетъ, она здѣсь уже и не въ первый разъ».

— Неужели можно привыкнуть?—спросила она Евгенію Тимофеевну, которая сидѣла съ нею рядомъ.

— Къ этой жизни... Да, немножко я попривыкла. И къ худу надо привыкать. Мнѣ вотъ немного легче, потому что я жду уже другой день сегодня, какъ меня поведутъ въ тюрьму; по крайней мѣрѣ я на воздухъ выйду.

— Откуда же ты знаешь, что тебя въ тюрьму поведутъ? — спросила Пелагея Прохоровна Евгенію Тимофеевну.

— Въ первый день меня водили къ слѣдователю; допросы отбирали. Тамъ слѣдователь сказалъ на мою жалобу, что здѣсь нехорошо, что недолго придется просидѣть въ части, и что, какъ кончится слѣдствіе, меня переведутъ въ тюрьму.

— Неужели ты своего ребенка задушила?

— Охъ, виновата ли я!—Евгенія Тимофеевна заплакала.

Въ это время къ двери подошелъ дежурный.

— О чемъ эта плачетъ?—спросилъ онъ камору сердито.

— А кто ее знаетъ? слезы-то некупленныя!

— Только смѣйте вы у меня ее хоть пальцемъ тронуть! Я васъ всѣхъ въ карцеръ запру!—проговорилъ грозно дежурный и ушелъ.

Женщины напали съ ругательствомъ на Евгенію Тимофеевну и согнали ее и Пелагею Прохоровну съ наръ.

— Сиди съ ней на полу.

— Какое вы имѣете право толкаться! Я дежурному скажу,—крикнула Пелагея Прохоровна.

Женщины напали на нее.

— И ты видно изъ таковскихъ! И ты видно своихъ ребятъ въ рѣки побросала, что съ ней знаешься!!

— Должно быть она помогала ей.

— Какъ вамъ не грѣхъ! Ну, чѣмъ я виновата передъ вами?—проговорила Евгенія Тимофеевна, рыдая.

— А! тутъ дакъ виновата... А отчего ты, если тебѣ не милъ ребенокъ, въ воспитательный не отдала его?

— Если бы мнѣ не жалко было...—проговорила Евгенія Тимофеевна.

— А кто жъ у те любовникъ-то?

Евгенія Тимофеевна еще пуще зарыдала.

— Не троньте ее, бабы. Не всякой, я думаю, изъ насъ пріятно объ этомъ разсказывать.

Женщины мало-по-малу отстали отъ Пелагеи Прохоровны и Евгеніи Тимофеевны. Онѣ хотя и сидѣли рядомъ, но не говорили другъ съ другомъ долго. Евгенія Тимофеевна не плакала, но, уперши голову на лѣвую ладонь, съ отчаяніемъ и какою-то злобою смотрѣла на полъ; Пелагея Прохоровна

смотрѣла на нее съ сожалѣніемъ и думала: «какая она молодая!»

— А жалко мнѣ тебя, Евгенія Тимофеевна! Очень жалко! — проговорила наконецъ Пелагея Прохоровна.—Добро я—мужичка, а ты дворянка.

Евгенія Тимофеевна нѣсколько минутъ молчала.

— Гораздо лучше бы было, если бы я была не дворянскаго роду,—сказала она.

— Ну, полно: дворянки—господа, а нашъ братъ что? Плевокъ. Дворянинъ накуралеситъ—ему ничего, потому за него богатые да знатные стоятъ; а мужикъ чуть чего сдѣлалъ,—виноватъ. Вотъ хоть я, за что я попала въ часть?

Сосѣдка молчала нѣсколько минутъ.

— И все-таки мнѣ удивительно, Евгенія Тимофеевна, какъ это ты дворянскаго роду, а за тебя дворяне не заступятся? Вѣдь вотъ хоть бы эти полицейскіе, вѣдь они не изъ дворянъ поди, а какъ обижаютъ-то.

— Пелагея Мокроносова! — крикнулъ мужской голосъ; другой мужской голосъ повторилъ это.

— Никакъ меня?—спросила арестантокъ Пелагея Прохоровна, встала и пошла.

XXXI.

На третій день Евгенію Тимофеевну куда-то потребовали. Она со слезами распростилась съ женщинами и особенно съ Пелагеею Прохоровною.

— Не видаться ужъ знать намъ больше,—говорила Евгенія Тимофеевна.

Но долго разсуждать ей не дали и велѣли взять все, что у ней есть при себѣ.

Пелагея Прохоровна прослезилась, да и прочія женщины смотрѣли на нее съ жалостью. Имъ уже не въ первый разъ приходилось видать женщинъ, уходящихъ изъ каморы со слезами, что означало не выпускъ на волю, а заключеніе въ тюрьму; при видѣ же Евгеніи Тимофеевны жалость проявилась даже у болѣе жосткихъ натуръ. Ее ждали до вечера. Вечеромъ ждать перестали.

Теперь Пелагея Прохоровна чувствовала себя одинокою, потому что остальныя женщины какъ-то сторонились ея и большею частью молчали, или развлекались вновь появляющимися въ каморѣ женщинами. Отъ скуки онѣ шли въ другую камору, несмотря на то, что ихъ оттуда гнали городовые, и къ нимъ заходили арестантки изъ другой каморы. Скука была страшная.

На третій день, какъ ушла Евгенія Тимофеевна, Пелагею Прохоровну отправили въ петербургскую часть, откуда ее повели къ кухмистершѣ Овчинниковой. Оказалось, что г-жа Овчинникова уже померла, а дочь ея живетъ у тетки на Пескахъ. Дворникъ того дома на Петербургской, гдѣ жилъ майоръ, сказалъ, что Пелагея Прохоровна была у майора въ кухаркахъ и потомъ переѣхала съ нимъ тогда-то.

Когда Пелагею Прохоровну привели обратно въ часть, то она замѣтила, что полицейскіе, разсматривая какія-то бумаги, хохочутъ.

— Ты, говоришь, у майора Филимонова жила?—спросилъ Пелагею Прохоровну весело надзиратель.

— У него.

— А сколько времени?

— Мѣсяца полтора.

Полицейскіе опять захохотали.

— А славный мы съ него сдеремъ штрафъ и за билетъ, и за адресный.

Пелагея Прохоровна, сообразивши, что полицейскіе смѣются надъ майоромъ, сказала:

— Отпустите меня, ради Христа.

— Отпустимъ, матушка; только удостовѣримся, дѣйствительно ли ты жила у него. Позвать его дворника! — сказалъ надзиратель окружающимъ его служащимъ.

Пелагею Прохоровну оставили въ прихожей до дворника.

Черезъ часъ явился дворникъ Филимонова. Увидѣвъ Пелагею Прохоровну, онъ опѣшилъ. Видно было, что городовой, ходившій за нимъ, хотѣлъ сдѣлать ему сюрпризъ. Надзиратель былъ занятъ, и поэтому дворникъ подошелъ къ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Что это, что это съ тобою?.. Какъ ты это попала-то?

— Вотъ по милости вашей. Зачѣмъ не прописали, что я у майора живу.

Дворникъ струсилъ, сталъ смотрѣть въ свою книжку и помолчалъ нѣсколько минутъ, какъ бы соображая, что ему теперь сказать въ свое оправданіе.

— Да неужли за это?.. Ты бы могла сказать, что пріѣхала изъ Царскаго, или изъ Гатчины; тамъ молъ я въ кухаркахъ жила.

— А почемъ я знаю это Царское?

— Дура! Ты знаешь, чѣмъ это дѣло-то пахнетъ?

— Хороши и вы! по вашей милости сколько я побоевъ-то приняла... Седьмыя сутки сижу; еще пожалуй засадятъ.

Наконецъ позвали дворника въ присутствіе вмѣстѣ съ Пелагеей Прохоровной.

— Ты знаешь эту женщину?—спросилъ частный приставъ.

Дворникъ замялся. Онъ было подумалъ сказать: не знаю, но боялся того, не сдѣлала ли бывшая кухарка его домохозяина чего дурного.

— Ну, что же?

— Знаю.

Отъ дворника нужно было каждое слово выжимать, потому что, имѣя всякаго рода дѣла съ полицей, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, онъ всегда былъ остороженъ, боясь попасть въ просакъ. Онъ показалъ, когда переѣхалъ въ домъ майоръ Филимоновъ съ женой и кухаркой Пелагеей Прохоровной Мокроносовой; что онъ, дворникъ, съ самаго начала получилъ отъ майора его бумагу, а о паспортѣ кухарки тревожить его не посмѣлъ, думая, что тотъ долженъ знать всѣ порядки; потомъ прошло недѣли двѣ и дворникъ пошелъ къ майору попросить паспортъ Пелагеи Прохоровны, майоръ былъ не въ духѣ и прогналъ его. Послѣ этого дворникъ еще нѣсколько разъ просилъ у домовладѣльца паспортъ, но тотъ молчалъ или гналъ прочь, говоря, что паспортъ у него и больше онъ ничего знать не хочетъ.

— А отчего же ты не донесъ полиціи, что у твоего домовладѣльца живетъ женщина безъ прописки?—спросилъ частный.

— Не мое дѣло.

— Такъ вотъ теперь ты узнаешь, чье это дѣло. Запереть его!

Дворнику и Пелагеѣ Прохоровнѣ приказали идти въ прихожую; дворникъ, понуривъ голову и почесывая затылокъ, медленно пошелъ, а Пелагея Прохоровна обратилась къ частному.

— Ваше благородіе, меня взяли съ узломъ и говорятъ, что я воровка. Вотъ спросите дворника, онъ мои вещи знаетъ. Онъ знаетъ, въ какое время я ушла отъ лавочника Большакова.

— Какого Большакова?—спросилъ частный.

— А онъ въ домѣ же Филимонова торгуетъ хлѣбомъ и разною разностью. Иванъ Зиновьичъ прозывается.

— А!..

— Пожалуй можно спросить,—сказалъ надзиратель.

Позвали опять дворника и опросили, въ которомъ часу такого-то числа вышла изъ дому Филимонова Пелагея Мокроносова. Тотъ сказалъ, что майоръ прогналъ кухарку за день до этого, и такого-то числа она, неизвѣстно почему, ушла отъ Большаковыхъ.

Принесли узелъ, Афанасій нѣкоторыя вещи призналъ принадлежащими Пелагеѣ Прохоровнѣ. Узелъ отдали Пелагеѣ Прохоровнѣ и велѣли ей подождать въ прихожей билета на жительство. Въ прихожей Пелагея Прохоровна хотѣла разобрать узелъ, но при людяхъ дѣлать это казалось ей неловко, потому что тутъ было все ея имущество. Дворникъ сердился на Пелагею Прохоровну за то, что по ея милости онъ долженъ теперь будетъ сидѣть въ арестантской, и называлъ ее нехорошими словами, попрекая Игнатьемъ Прокопьичемъ.

Наконецъ выдали Пелагеѣ Прохоровнѣ билетъ и сказали, что она можетъ идти, но о мѣстѣ жительства должна сообщить непремѣнно въ кварталъ черезъ дворника и за паспортомъ понавѣдаться черезъ недѣлю.

Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, и когда вышла изъ части, то почувствовала всю прелесть свободы. Она смотрѣла весело, готова была обнять каждаго человѣка, готова была плакать отъ радости. На слова караульнаго «что стоишь?» она вздрогнула и пошла машинально направо, не зная сама куда. Но не прошло и пяти минутъ, какъ она почувствовала усталость, слабость во всемъ тѣлѣ, голодъ; узелъ ей мѣшалъ. Тогда явился самъ собою вопросъ: куда идти?

Былъ уже часъ седьмой. Начинали зажигать фонари. Но движеніе въ Петербургѣ какъ будто только что начиналось. Пелагея Прохоровна не знала, въ которую ей идти сторону, и гдѣ найти пріютъ до утра. Она спросила нѣсколькихъ человѣкъ, шедшихъ навстрѣчу: гдѣ бы ей ночевать? но эти люди, оглянувъ ее подозрительно, отвѣчали: не знаемъ. Спросила она городового, тотъ придрался къ ея узлу и не повелъ ее въ часть потому только, что она показала ему билетъ.

Совсѣмъ растерялась Пелагея Прохоровна, присѣла она на панель, стала развязывать узелъ, но дворникъ сталъ гнать.

— Пусти, ради Христа, ночевать, — сказала дворнику Пелагея Прохоровна.

— Я те пущу! Пошла!!

— Дай ты мнѣ хоть деньги-то достать.

Но дворникъ подошелъ съ метлой, которой и замахнулся на Пелагею Прохоровну. Опять пошла Пелагея Прохоровна и думала о дворникахъ, полиціи, арестантахъ; голова ея кружилась, да и сама-то она шла безсознательно, такъ что черезъ часъ послѣ ея выпуска изъ части она опять очутилась недалеко отъ той же части...

«Пойду я въ часть, все едино, опять возьмутъ съ узломъ», подумала Пелагея Прохоровна, и вошла въ контору.

— Ты зачѣмъ?—спросилъ ее городовой.

— Пустите ночевать.

— Ахъ ты, подлая! Пошла вонъ!—И Пелагею Прохоровну стали гнать.

— Батюшки, голубчики! укажите, гдѣ ночевать?

— Мы тебѣ укажемъ!

— Украдь, и ночлегъ будетъ, — сострилъ другой городовой.

— Неужели же у васъ сердце каменное?..

— Гони ее!—сказалъ помощникъ надзирателя.

Пелагею Прохоровну выгнали изъ части.

Вышла она на дворъ и задумалась. Начала перебирать вещи; опять прогнали. Ей хотѣлось найти чулокъ, въ которомъ лежали деньги, но и въ этотъ разъ не дали ей добраться до кармана, сдѣланнаго въ платьѣ.

И вотъ идетъ опять Пелагея Прохоровна усталая, больная и голодная. Народу идетъ и ѣдетъ много, наряднаго и ненаряднаго; ѣдутъ кареты, торгаши выкрикиваютъ спички, яблоки, груши, булки; тамъ и сямъ играетъ шарманка, изъ какого-то дома слышится музыка, улица съ обѣихъ сторонъ залита свѣтомъ: горятъ огни во всѣхъ этажахъ, горитъ газъ. Хорошо идти по этой улицѣ; много въ ней можно увидать хорошихъ вещей; но голоднаго человѣка это богатство, это, такъ сказать, сказочное видѣніе, тотчасъ послѣ арестантской каморы, еще болѣе разслабляетъ; еще болѣе ноетъ сердце при видѣ всего этого блеска, еще болѣе является любопытство, прекращающее на время голодъ, и это любопытство тянетъ человѣка идти еще дальше и увидѣть еще что-нибудь получше. Такъ и Пелагея Прохоровна шла по Невскому; наконецъ и предметы стали ей казаться однообразными, и какъ только она вошла на площадь, наступило общее ослабленіе. Она сѣла и закрыла лицо руками. Слезы не шли изъ глазъ, но въ головѣ ея былъ жаръ. Къ ней подошло нѣсколько человѣкъ любопытныхъ.

— Что съ тобой?—спрашивали они.

Пелагея Прохоровна ничего не понимала.

Подошелъ городовой и сталъ разгонять толпу, но толпа росла.

— Она нездорова! Холера!—говорили въ толпѣ.

Городовой тормошилъ Пелагею Прохоровну и спрашивалъ, гдѣ она живетъ. Стали объ этомъ спрашивать въ толпѣ. Пелагея Прохоровна опомнилась.

— Батюшки! укажите, гдѣ мнѣ ночевать... Я ѣсть хочу.

Нѣсколько человѣкъ отошли отъ Пелагеи Прохоровны; остальные стали совѣтовать городовому отправить ее въ больницу; городовой просилъ ее идти, куда она знаетъ, а не сидѣть тутъ и не привлекать народъ.

— Охъ, не могу идти-то,—проговорила она.

— Найми извозчика. Эй, извозчикъ! Отвези ее!— кричалъ городовой извозчику, ѣхавшему тихонько порожнякомъ.

— А есть ли у нея деньги-то?

— Есть,—сказала Пелагея Прохоровна.

— Давай,—сказалъ извозчикъ.

— Вотъ въ узлу.

— Вези, вези... кричалъ городовой.

Но извозчикъ стегнулъ лошадь и уѣхалъ. Пелагея Прохоровна поплелась. Черезъ полчаса она очутилась на набережной Невы; потомъ пошла по Троицкому мосту. Дулъ рѣзкій вѣтеръ съ моря; ночь была темная, холодная; по небу плавали густыя тучи, такъ что не видно было на немъ ни одной звѣздочки, волны плескались съ шумомъ и шатали плашкоты. На мосту было пусто: рѣдко-рѣдко развѣ кто проѣдетъ или пройдетъ. Пелагеѣ Прохоровнѣ казалось, что она плыветъ, и конца нѣту этому мосту. Безсознательно прошла она площадь, вошла въ Александровскій паркъ, и опять силы ей измѣнили: она упала и скоро заснула.

Холодное утро скоро пробудило Пелагею Прохоровну. Когда она проснулась, было не совсѣмъ свѣтло еще. Оглядѣла Пелагея Прохоровна мѣстность и увидала, что спала въ какой-то ямѣ; сарафанъ ея и узелъ весь запачканъ въ грязи. Развязала онъ узелъ и стала искать чулокъ съ деньгами, но чулки цѣлы, а денегъ нѣтъ.

Опять пошла Пелагея Прохоровна, еле передвигая ноги. Народу почти не видать; двое извозчиковъ, сидя въ пролеткахъ, спятъ; начинаютъ отпирать лавочки. Пелагея Прохоровна зашла въ лавочку и попросила Христа ради.

— Богъ съ тобой!—сказалъ лавочникъ.

— Батюшко! Я совсѣмъ не знаю, что мнѣ дѣлать...

— Н-ну, не разговаривай. Украла, поди, узелъ-то? Вотъ городового позову.

— Ужъ я просилась въ полицію, — не берутъ.

Въ другой лавочкѣ ей подали кусокъ чернаго хлѣба. Она очень обрадовалась этому куску и тотчасъ съѣла его. Это удивило лавочника, и онъ съ насмѣшкой спросилъ ее:

— Видно ты давно голодаешь-то?

Пелагея Прохоровна разсказала, какъ она отошла отъ мѣста и попала въ часть. Лавочникъ попросилъ у нея паспортъ и, удостовѣрившись въ справедливости ея словъ просмотромъ билета, далъ ей еще хлѣба и посовѣтовалъ идти на Никольскій рынокъ.

XXXII.

Пелагея Прохоровна пошла по направленію къ Самсоніевскому мосту, раздѣляющему сторону Петербургскую отъ Выборгской. Еще не дошла она до угла нѣсколькихъ шаговъ, какъ увидѣла выходящихъ изъ одного питейнаго заведенія четырехъ рабочихъ въ рваныхъ полушубкахъ. Они остановились и стали о чемъ-то разсуждать. Сперва Пелагея Прохоровна не обратила на нихъ вниманія, но ей опять послышался знакомый голосъ, что̀ ее и заставило посмотрѣть на рабочихъ. Двое изъ нихъ были невысокіе, съ большими русыми волосами и такими же бородами, много захватившими ихъ щеки; третій былъ высокій, молодой мужчина безъ бороды и усовъ, но съ желтымъ лицомъ; четвертый отличался отъ другихъ тѣмъ, что его полушубокъ былъ сшитъ точно изъ клочковъ, которые еле-еле болтались, и на головѣ была фуражка съ оторваннымъ на половину козырькомъ и съ тремя заплатами на верхушкѣ. Онъ былъ молодъ, годовъ шестнадцати, но на видъ ему казалось гораздо больше, оттого что на его лицѣ сидѣло много грязи и пыли. Вглядѣвшись въ него хорошенько, Пелагея Прохоровна узнала Панфила Прохорыча. Радость ея была неописанная. Однако она подошла робко, поклонилась и неловко спросила:

— Вы откуда?

Мужчины захохотали, но молодой человѣкъ сталъ пристально смотрѣть на женщину.

— Что смотришь? Аль сродни?—спросили Панфила товарищи.

— Ты не Панфилъ ли Прохорычъ?—спросила робко Пелагея Прохоровна.

— Такъ зовутъ... А ты?.. Ужъ не Пелагея ли?— спросилъ не то съ насмѣшкой, не то съ горестью молодой человѣкъ.

— Какъ же, Пелагея Мокроносова!

Молодой человѣкъ посмотрѣлъ еще на Пелагею Прохоровну и сказалъ:

— Пелагея-то была здоровая, красивая, а ты что?

— Неужли и голосъ не узнаешь?.. Вѣдь кажись вмѣстѣ въ Моргуновомъ-то робили.. Ты еще за фальшивую билетку попался.

— Ахъ ты!!. Глядите, робя,—счастье! Сестра вѣдь... Ахъ ты, чортъ!..

И Панфилъ Прохорычъ утеръ глаза заскорузлыми руками. Пелагея Прохоровна тоже стала утирать глаза. Товарищи Панфила Прохорыча глядѣли то на Панфила, то на женщину; они то улыбались то чесали затылки и что-то обдумывали. Ихъ лица выражали словно зависть и какъ будто говорили: «ишь вѣдь, свидѣлись таки!.. Экое, подумаешь ты, людямъ счастье.»

Начались разспросы. Восторгамъ этой встрѣчи кажется и конца бы не было. Но рабочіе сказали Панфилу.

— Пора. Надо переть барку-то кверху.

— Такъ ты гдѣ ино теперь?—спросилъ братъ сестру.

*

— Безъ мѣста я, и денегъ у меня нѣту—украли. И сама не знаю, гдѣ украли.

— Подемъ ино на барку: у насъ хлѣбъ-то есть,—сказалъ братъ.

— Иди, мѣсто будетъ, — проговорили рабочіе.

Пелагея Прохоровна пошла за братомъ и рабочими въ барку, и дорогой разсказала брату, какъ она ушла изъ Прикамска и попала въ Петербургъ.

— Ужъ натерпѣлась же я горя въ этомъ Петербургѣ. И если бы знала, что здѣсь такая жизнь, ни за что бы не пошла изъ Пояркова.

— Ну, я тоже въ Поярковѣ робилъ: народъ—собака.

— Не ври; тамъ люди хорошіе и достаточно живутъ.

— Кои тамошніе; а кои пришедшіе, тѣ и работы не скоро найдутъ. Это можетъ тебѣ такъ показалось, потому что ты баба. А я тамъ прожилъ съ недѣлю и узналъ, что тамошніе-то жители между собою уговариваются, чтобы имъ оттеретъ пришлыхъ, и смотрителей на пристаняхъ задабриваютъ.

— Ну, а ты-то какъ попалъ сюда?

— Какъ?.. Нанялся на баржу до Нижняго, а въ Нижнемъ эту баржу взяли да продали, и мы всѣ, сколько тамъ было, поступили въ службу къ другой компаніи. Ну, нагрузили нашу баржу и потащилъ насъ пароходъ въ Тверь. А въ Твери двое товарищей и говорятъ: «пойдемте въ Питеръ, еще поспѣемъ на суда». Ну, и получили разсчетъ. Мнѣ досталось пять рублей съ четвертакомъ. Походили по Твери дня четыре и нашли еще пятерыхъ — тоже въ Питеръ сбирались, только ѣхали въ Чудово. Ну, мы поѣхали на чугункѣ и скоро нанялись на барку камень сплавлять.

— Сколько же ты получаешь?

— Да вотъ, какъ камень представимъ, надо бы по десяти рублей получить.

— Пошто же ты оборванъ?

— Пошто!! Поживи, такъ узнаешь. Вотъ ты говоришь: тебѣ нехорошо; а нашему брату и еще лучше.

Наконецъ вошли въ барку по дощечкѣ. Здѣсь на рѣкѣ были два плота съ плотно сложеннымъ на нихъ сѣномъ, въ срединѣ котораго было устроено подобіе коридора, въ которомъ и спасались отъ дождя рабочіе; далѣе стояла большая лодка, вмѣщавшая въ себѣ до восьми кубическихъ саженей песку, еще дальше—четыре судна, дожидающіяся попутнаго вѣтра, и та барка, на которой находился Панфилъ Прохорычъ. Эта барка не походила на тѣ, которыя видѣла на родинѣ Пелагея Прохоровна: она не имѣла палубы, была нѣсколько овальнѣе, посрединѣ ея не было гребныхъ веселъ. Вся она была нагружена кирпичемъ.

— Ужъ мы въ четвертый разъ этотъ кирпичъ плавимъ съ кирпичнаго завода. А заводъ этотъ недалеко, сичасъ за Охтой будетъ литейный заводъ, такъ не доходя его. Сперва плавили въ Фонтанку рѣку, потомъ въ Обводный каналъ, потомъ по Обводному каналу же въ Лиговскій каналъ, теперь сюда ужъ въ послѣдній разъ Говорятъ, скоро ледъ пойдетъ. Нанимали въ Кронштадтъ, въ море, по двадцати рублевъ давали, да опоздалъ.

— Ты видалъ ли Питеръ-то?

— Вотъ тѣ разъ!.. Да я тамъ вездѣ выходилъ. Чудной этотъ городъ; не вѣрю я, чтобы тебѣ тамъ худо было.

На этой баркѣ было всего шесть человѣкъ рабочихъ. Панфилъ откачивалъ воду, остальные что-нибудь стругали, зачинивали въ баркѣ дыры, починивали свои полушубки, а одинъ, сидя въ кормѣ подъ досками, которыя были положены на края барки для того, чтобы было удобно грести и править, варилъ гречневую кашу на всѣхъ рабочихъ. Отъ груза на баркѣ было такъ тѣсно, что всѣмъ приходилось сидѣть на грузѣ, а тамъ, гдѣ варилась крупа, можно было умѣститься только двумъ человѣкамъ и то присѣвъ. Поэтому рабочіе сидѣли, гдѣ попало, спиною къ вѣтру, не обращая вниманія на то, что сквозь дыры рубахъ вѣтеръ сквозитъ на голое тѣло. Пелагея Прохоровна тоже присѣла. Теперь ей было весело; она нашла брата, и съ братомъ ей будетъ легче работать.

Между тѣмъ всѣ рабочіе поразспросили Пелагею Прохоровну о ея родинѣ и пребываніи въ Петербургѣ. Двое говорили, что у нихъ жены находятся тоже въ Питерѣ и они видѣлись съ ними раза по три, но онѣ не хвалятъ питерское житье. Начались общія сѣтованія на мужицкую долю, на то, что мужику вездѣ одинакова жизнь, и Питеръ, по ихнему мнѣнію, еще пожалуй хуже, потому что рѣдкій къ концу лѣта не захвораетъ чѣмъ-нибудь.

— Никто и въ Питерѣ-то не хвалится житьемъ. Оно бы и заработокъ ладный, а деньги идутъ, и самъ не знаешь, на что... И все-таки ни сытъ, ни голоденъ. Еще ладно, если кто на одномъ мѣстѣ долго держится. А какъ свернется съ мѣста, и слоняйся да проживай денежки. Ну, вотъ лѣто-то лѣтенское робишь, бережешь деньги, потому дома оброки да недоимки нужно платить, нужно хлѣба купить; опять и то: объ семьѣ надо позаботиться. Чѣмъ она-то виновата? Прожилъ зиму, и маршъ опять сюда; а дома какая нынѣ работа—и по гривеннику на день не заработаешь... И что это за жизнь, Господи! Лѣтомъ живешь одинъ, робишь, робишь; домой пріѣдешь—деньги издержишь и живешь кой-какъ. И не ходилъ бы домой на зиму, да семью жалко и вздохнуть хочется. А здѣсь жить съ семьей нельзя.

— Отчего нельзя? — спросила Пелагея Прохоровна.

— То-то нельзя. Въ деревнѣ-то все жъ свое хозяйство. А здѣсь натко, займись хозяйствомъ-то!

— И подлинно мужицкая жизнь самая скверная,—сказалъ рабочій.

— А я мекаю, здѣшнимъ солдатамъ житье—помирать не надо!

Эти слова были произнесены потому, что по Самсоніевскому мосту прошло нѣсколько ротъ солдатъ съ музыкой.

— Ну, а вотъ нашъ Пантюхинъ сдѣлался купцомъ, а тоже на судахъ сперва ходилъ.

Рабочіе стали смотрѣть на солдатъ и смотрѣли молча до тѣхъ поръ, пока они не скрылись.

— Нѣтъ, и имъ тоже поди служба-то о-ёй!— сказалъ кто-то.

— Чего о-ёй! Я вонъ, какъ въ Ижорѣ камень ломалъ, такъ ходилъ къ брату въ Красное,—началъ молодой, высокій рабочій. — Ну, и житье ему—умирать не надо! вся служба въ томъ и заключается, чтобы на лошадяхъ разъѣзжать. А это разъѣзжанье онъ говоритъ такъ только, чтобы мужики солдатамъ идти не мѣшали, когды солдаты съ ученья идутъ.

— Ну, все жъ солдату трудно.

— Трудно вотъ, коли ученье. Только не люблю я ихъ. Потому можетъ не люблю, очень ужъ важничаютъ передъ нашимъ братомъ, ни за что насъ считаютъ. Вотъ хошь бы этихъ городовыхъ взять— изъ солдатъ вѣдь?

— Ну, ты потому ихъ не любишь, что въ полиціи сидѣлъ пьяный.

— Нешто я не шелъ на барку?

— То-то! ты дошелъ бы!

— Ну, ужъ что ни говори, а не люблю. Вотъ у брата просилъ денегъ,—не далъ: жениться, говоритъ, сбираюсь. Я и говорю: «что жъ, Онисимъ Пантелеичъ, позовешь меня въ гости?» Онъ: «коли, говоритъ, пальто есть—приходи». Ну, не подлецъ ли онъ послѣ этого, братецъ-то мой родимый?

Стали хлебать гречневую кашу изъ большого чугуна большими деревянными ложками; Пелагею Прохоровну пригласили тоже. Она сидѣла рядомъ съ братомъ и осматривала его фигуру, въ которой находила много перемѣнъ. Рабочіе ѣли молча.

— Вонъ, Панфилъ, ты и сестру нашелъ. Чать, ужъ не пойдешь болѣ на суда али на барки?— спросилъ молодой рабочій Панфила Прохорыча.

— Куда подешь? Надо что-нибудь работать.

— Ты что умѣешь-то?

— Ковать умѣю.

— Ой-ли?.. Гдѣ ты энтой наукѣ обученъ?

— Дома и въ заводѣ робилъ... Наши заводы не вашимъ чета: у насъ заводъ не меньше города.

И Панфилъ сталъ разсказывать, что такое горный заводъ, но такъ какъ кашу скоро съѣли, то этотъ разсказъ не былъ оконченъ, да и рабочихъ онъ мало интересовалъ, и они глядѣли больше на рѣку и на фабрики. Вообще рабочіе были народъ молчаливый, точно тяжелая работа отбила у нихъ всякую охоту къ разсужденію.

Панфилъ сталъ откачивать воду, рабочіе принялись отчаливать барку, а Пелагея Прохоровна сидѣла посреди барки и смотрѣла, какъ ея братъ откачиваетъ воду.

— Ты за это занятіе десять-то рублей получишь?—спросила она брата.

— За это. На этой баркѣ-то я ужъ четвертый разъ плыву, вотъ за всѣ разы мнѣ назначили десять рублей.

— А хлѣбъ-то чей?

— Мой: впередъ деньги взялъ. Ужъ теперь почитай рублей пять взялъ.

Барка плыла по теченію. Хотя рабочіе и употребляли въ дѣло шесты, но барка шла сама, и только приходилось работать на кормѣ и на носу. Рабочіе ругались, если барку поворачивало въ которую-нибудь сторону, или на нее чуть-чуть не наплывалъ маленькій пароходъ съ двумя десятками пассажировъ, или большая лодка съ мебелью, которую плавили съ дачи. Наконецъ пристали недалеко отъ какихъ-то казармъ. Лоцманъ, заступивши мѣсто приказчика и обязанный отъ подрядчика доставить сюда кирпичъ въ цѣлости, ушелъ въ казармы, а рабочіе, оставивъ Панфила Прохорыча караулить барку и отливать воду, ушли на берегъ разыскивать, гдѣ бы имъ поѣсть. Пелагея Прохоровна осталась съ братомъ. Нѣсколько минутъ они сидѣли молча.

Гдѣ-то наши? — спросилъ вдругъ Панфилъ Прохорычъ.

— Я сперва объ нихъ долго думала, а теперь ужъ не думаю. Поди и имъ, Панфилъ, не лучше нашего?

— Кто его знаетъ! Я вотъ какъ на пристани робилъ, мнѣ говорили, что на желѣзной дорогѣ хорошо робить: денегъ много даютъ. Хотѣлъ идти и не пошелъ, потому не съ кѣмъ было, и народъ все какой-то острожной. Я вотъ по чугункѣ ѣхалъ, такъ, говорятъ, на желѣзной дорогѣ народу мретъ много и порядки тамъ дурацкіе.

— Поди и они тамъ померли.

— А вотъ что-то нашъ дядя. Поди, богатѣй теперь сталъ.—Пелагея Прохоровна задумалась.

— А ты, сестра, нонѣ больно худа сдѣлалась.

— Нездоровится мнѣ что-то, братчикъ. Вотъ какъ этотъ проклятый майоръ прогналъ меня въ одной рубахѣ, такъ я въ тѣ поры вѣрно простудилась.

— Ну, ничего... А знаешь, что я думаю: будемъ вмѣстѣ робить?

— Будемъ... Я еще скажу тебѣ, братчикъ, когда я жила у майора, такъ тамъ въ домѣ жилъ мастеровой Петровъ. Я на него и вниманья сперва не обращала, а онъ все выслѣживалъ меня... А такой умный и видно работящій; видно, что онъ будетъ лучше нашихъ заводскихъ... Такъ онъ мнѣ что сказалъ: будьте, говоритъ, вы кухаркой на рабочихъ.

— Ну, такъ что?

— Ну, онъ говоритъ, что найдетъ рабочихъ и тутъ же жить будетъ. Только это мнѣ не нравится: что будутъ говорить люди?.. Я ужъ совсѣмъ думала назадъ идти въ Поярковъ...

— Ну, въ Поярковъ не стоитъ, потому тамъ работа только лѣтомъ, а зимой, говорятъ, и городскіе-то жители лѣтніе заработки проѣдаютъ.

Итакъ, Пелагея Прохоровна рѣшила остаться съ братомъ въ Петербургѣ и работать гдѣ-нибудь на фабрикѣ.

XXXIII.

Ночевавши въ баркѣ подъ крышкой, утромъ на другой день Пелагея Прохоровна чувствовала себя бодрѣе и какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдующіе четыре дня катала въ тележкахъ съ барки во дворъ казармъ кирпичи. Хотя заработокъ былъ и

небольшой—тридцать копеекъ въ день, съ шести часовъ утра до сумерекъ,—и работа не совсѣмъ легкая, но она находила это занятіе не въ примѣръ лучше ея жизни у майора и кухмистерши. Здѣсь ее никто не смѣлъ обругать, не къ чему было придраться, рабочіе барки уважали ее, какъ сестру ихъ молодого товарища, и имъ даже было веселѣе въ ея обществѣ, потому что они давно уже не бывали въ обществѣ женщинъ; хотя же солдаты изъ той казармы, куда разгружали кирпичъ, и подмазывались къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, но она одного оборвала, другому что-то замѣтила непріятное, а потомъ и они стали вѣжливы. Ѣла она хотя и не по вкусу, но наѣдалась досыта; одно было непріятно, что приходилось спать подъ открытымъ небомъ, безъ защиты отъ вѣтра и дождя. Такихъ постоянныхъ избъ, гдѣ бы можно было нанять ночлегъ, здѣсь не было; да и рабочіе говорили, что имъ уже не много остается терпѣть. По мѣрѣ выгрузки изъ барки кирпича, становилось меньше работы Панфилу Прохорычу, такъ какъ края барки становились все выше и выше надъ водой, и вода сочилась только сквозь дно. Поэтому и Панфилъ Прохорычъ тоже каталъ въ телѣжкѣ кирпичи. На баркѣ не знали, какой сегодня день, и потому работали ежедневно, стараясь кончить; за провизіей ходили въ лавочки, потому что на рынокъ идти было далеко, да и туда ни одинъ идти не рѣшался, боясь заблудиться. Пелагеѣ Прохоровнѣ покупать не поручали, хотя она и вызывалась, на томъ основаніи, что ей не донести пяти ковригъ хлѣба. Пелагея Прохоровна прожила на баркѣ пять сутокъ, и ей казалось, что она живетъ въ такомъ обществѣ, которое нисколько не похоже на остальныя, потому что живетъ она на рѣкѣ, и спитъ въ баркѣ подъ открытымъ небомъ. Ходитъ она въ мокрыхъ ботинкахъ и чулкахъ, и еле-еле высыхаетъ ея одеженка около костра, который разжигался изъ лишнихъ досокъ на баркѣ, или изъ дровъ, которыя рабочіе воровали на берегу. Она видѣла и на себѣ ощущала, какъ тяжела жизнь рабочихъ на рѣкѣ, но находила тутъ все-таки больше свободы, чѣмъ въ ея положеніи у майора и у кухмистерши. Ей нравились эти люди, дружно работающіе и рѣдко ссорящіеся между собою и дѣлящіе хлѣбъ и заработокъ поровну; но и это не удовлетворяло ее. «Неужели нельзя имъ робить что-нибудь другое—они мужчины», думала она, но тутъ же узнала, что эти рабочіе только и умѣютъ, что дома строить по-сельски, ломать камни и обжигать кирпичи; а этой работы въ Питерѣ мало, да и рабочихъ рукъ на эту работу много.

Ей было непріятно, что Панфилъ по утрамъ и по вечерамъ уходитъ съ рабочими въ питейныя заведенія. Хотя она и думала, что они пьютъ съ холоду, но то скверно, что братъ можетъ втянуться въ водку, станетъ пьянствовать и никогда не будетъ имѣть денегъ; а это дѣло скверное. Стала она ему совѣтовать пить вмѣсто водки чай,—онъ разсердился, рабочіе улыбнулись.

— Вотъ и видно, что ты не нашего сорта,— сказалъ молодой высокій рабочій. — Мы къ этому чаю непривычны, и если пьемъ, такъ въ гостяхъ у старшины, или у десятскаго на именинахъ. На именинахъ, знамо, все вали; пословица говорится: «въ крестьянскомъ брюхѣ и долото сгніетъ». А здѣсь намъ не до чаю; проклажаться-то—еще простудишься.

А Панфилъ на шестыя сутки былъ такъ пьянъ, что его на рукахъ принесли въ барку, и онъ долго ругался. Пелагея Прохоровна плакала и сѣтовала на рабочихъ, которые втягиваютъ мальчишку въ пьянство.

— А что жъ ему не пить-то? съ тобой что ль обниматься?.. каки-таки ты ему радости предоставишь?—проговорилъ недовольно одинъ изъ рабочихъ.

Слова эти показались Пелагеѣ Прохоровнѣ справедливыми. Сердце ея стало ныть отъ предчувствія, что изъ брата ничего хорошаго не выйдетъ. Она стала на колѣни, заплакала; стала молить Бога, чтобы онъ спасъ ея брата, и потомъ легла съ надеждой, что не все же такая жизнь будетъ.

Очистили барку. Лоцманъ сходилъ къ подрядчику, получилъ деньги и роздалъ рабочимъ. Панфилъ Прохорычъ получилъ пять рублей. Всѣ собрались на баркѣ.

— Ну, какъ теперь, робя?—началъ одинъ рабочій.

— Ужъ теперь плавать не придется: гляди, скоро ледъ пойдетъ.

— А денегъ-то маловато. Теперь надо обувь купить; не такъ же изъ Питера придти-то. Хозяйкѣ тоже надо—платокъ просила. А денегъ-то, гляди, восемь цѣлковыхъ. На дорогу еще надо.

Рабочіе задумались. Половина изъ нихъ рѣшила остаться въ Питерѣ и отослать заработокъ по домамъ, другіе тоже хотѣли остаться, но ихъ тянуло домой. Всѣмъ работавшимъ лѣто вмѣстѣ тяжело было разстаться и хотѣлось немного повеселиться. Поговорили было о томъ, не сходить ли на Сѣнную, чтобы потолкаться тамъ, или, какъ говорятъ рабочіе, посмотрѣть Питеръ, потомъ найти квартиру. Но такъ какъ идти на рынокъ было не близко и уже поздно, то всѣ пошли дѣлать спрыски; стали звать и Пелагею Прохоровну. Та отговаривалась тѣмъ, что ей идти неловко, но она хотѣла выпить чего-нибудь тепленькаго, чтобы отогрѣться; денегъ у нея было около полутора рублей и она пошла. Панфилъ отдалъ ей на сбереженіе и свои деньги.

Рабочіе вошли въ одну изъ харчевенъ, примыкавшую къ трактиру. Какъ харчевня, такъ и трактиръ съ номерами помѣщались въ одно-этажномъ деревянномъ домѣ отдѣльно другъ отъ друга; ихъ содержалъ мѣщанинъ Сидоръ Данилычъ. Фамиліи его изъ рабочихъ посѣтителей никто не зналъ. Это былъ толстый, средняго роста пожилой мужчина, съ круглою, рѣдкочерною бородкою и черными, короткими, всегда примазанными саломъ волосами. Лицо его было полное, выражало постоянно спокойствіе и невозмутимость, какъ будто увѣряло, что Сидоръ Данилычъ съ малыхъ лѣтъ находится при трактирахъ, видалъ всякихъ людей и переслушалъ всякой всячины. Онъ знаетъ все, что относится до жизни рабочаго, афериста и торгаша, его

учить нечего; знаетъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ можно выбиться изъ такого-то положенія, на что стóитъ обращать вниманіе, на что не стóитъ, и т. д. Сидоръ Данилычъ давно уже занимаетъ трактиръ съ харчевней, которые ему приносятъ большіе барыши, и эти барыши онъ извлекаетъ отъ рабочихъ, которые при разсчетѣ предпочитаютъ его заведеніе другимъ можетъ быть потому, что онъ вѣритъ въ долгъ и со всѣми одинаковъ. Онъ говоритъ октавой, не возвышая и не понижая тона ни въ какихъ случаяхъ, такъ что вызвать съ его стороны крикъ довольно трудно. Онъ въ своемъ заведеніи сидитъ гдѣ попало, потому что у него есть сынъ двадцати двухъ лѣтъ, высокій, худощавый брюнетъ, пошедшій относительно наживы денегъ въ отца и съ которымъ не могутъ ужиться подручные, такъ какъ онъ до тонкости свѣряетъ всякіе счеты и украсть изъ-подъ его рукъ довольно трудно. Только деньги мало идутъ ему въ прокъ, такъ какъ онъ хотя уже и женатъ, но любитъ всякую компанію въ другихъ гостиницахъ, которыя посѣщаютъ господа. Зная эту слабость Ивана Сидорыча, Сидоръ Данилычъ сидитъ попеременно— или днемъ въ трактирѣ, а вечеромъ въ харчевнѣ, или днемъ въ харчевнѣ, а вечеромъ въ трактирѣ; онъ ни одного дня не пропуститъ, чтобъ не посидѣть въ которомъ-нибудь заведеніи. Харчевня состояла изъ трехъ комнатъ, изъ коихъ въ первой, тотчасъ по приходѣ съ улицы, и самой большой стояла выручка, полки съ налитой водкою, желѣзная печь съ такой же трубой, протянутой вдоль потолка къ окну. За выручкой сидѣлъ теперь самъ Сидоръ Данилычъ и что-то считалъ на счетахъ. На немъ надѣтъ былъ черный дубленый полушубокъ, во рту онъ держалъ гусиное перо. Въ этой комнатѣ, оклеенной старыми сѣрыми обоями, со множествомъ лубочныхъ раскрашенныхъ картинъ, подъ которыми были напечатаны или русскія и малороссійскія пѣсни, или безграмотные стихи, стояло пять столовъ небольшой величины и нѣсколько деревянныхъ стульевъ. Посѣтителей тутъ теперь не было.

— Сидору Данилычу!—сказалъ молодой, высокій рабочій, снимая шапку.

Сидоръ Данилычъ поглядѣлъ на сказавшаго, оглядѣлъ вошедшихъ и сталъ считать на счетахъ.

— Аль спѣсивъ сталъ? не узналъ Егора Шилова.

— Проходите, молодцы, проходите.

Мальчикъ повелъ пришедшихъ въ другую комнату съ двумя окнами, въ которой также стояла желѣзная печь съ трубой, проходящей въ третью комнату съ однимъ не очень свѣтлымъ окномъ. Комната эта была оклеена старенькими палевыми обоями и въ ней стояло четыре стола. За однимъ изъ нихъ сидѣло четверо мастеровыхъ—двое въ тиковыхъ, засаленныхъ халатахъ, двое въ пальто, съ передниками, зачерненными до-нельзя; у всѣхъ были лица черныя, руки тоже черныя.

Рабочіе усѣлись за два стола. Лоцманъ потребовалъ полуштофъ. Пелагея Прохоровна стала было отговаривать брата отъ участія въ водкопитіи и уговаривала пить чай, но товарищи Панфила сказали, что здѣсь въ харчевнѣ чаю нѣтъ, потому что здѣсь черная половина.

— Это ты откуда, братецъ, взялъ, что здѣсь черная половина?—спросилъ одинъ мастеровой, вставая и набивая свою трубку табакомъ.

— Коли не черная! чаю не подаютъ, — въ трактиръ посылаютъ.

— А знаешь ли ты, что такое черная половина?

— Ты не приставай,—обидѣлся молодой, высокій рабочій.

Появилась водка, стаканы; лоцманъ налилъ стаканы, налилъ и Пелагеѣ Прохоровнѣ. Та стала отказываться.

— Ну, полно! здѣсь мы съ тебя деньги не возьмемъ: мы по-дружески. Пей.

— И эта барышня тоже съ вами на судахъ работала?—спросилъ опять мастеровой съ трубкой.

— Нешто нельзя бабѣ на судахъ робить?

— Самое послѣднее дѣло я тебѣ скажу, если баба чѣмъ инымъ прокормиться не въ состояніи.

— Это вѣрно,—подтвердили товарищи мастерового.

Наши рабочіе не возражали. Мастеровые отстали: они разговаривали между собой о своихъ фабричныхъ мастерахъ, десятскихъ, о заработкѣ; рабочіе съ своей стороны разсказывали впечатлѣнія по сплаву каменья и между разговоромъ скоро роспили полуштофъ, закусывая рѣдькой и ржаными сухариками.

— Похлебать бы чего, ребята? — предложилъ лоцманъ.

Оказалось, что въ харчевнѣ есть щи. Принесли на столъ двѣ небольшія деревянныя чашки, двѣ деревянныя тарелки, на которыхъ на каждой было мяса фунтовъ по пяти, и ложки; хлѣба для щей отъ харчевни не полагалось. Одинъ изъ рабочихъ сходилъ за хлѣбомъ и принесъ съ собой фунта три ситнаго и полфунта тешки, что вызвало смѣхъ его товарищей. Однако щи оказались— одна вода, безъ крупъ и капусты, и холодныя до того, что въ нихъ плавало сало; чистаго мяса было не больше двухъ фунтовъ, да и то жесткое, остальное—все кости.

— Ну, ужъ и ѣда! угостилъ Егорка Шиловъ!— говорилъ лоцманъ.

— И на этомъ говори спасибо. Аль лучше ѣдалъ?

— Подемте въ трактиръ.

— Ну, нѣтъ... Все равно ись надо, потому послѣ насъ ись не станутъ... Эй, мальченко, вали полштофъ!—говорилъ Шиловъ.

Рабочіе стали одобрять Шилова и бранить харчевню.

— Что ни говорите, а супротивъ здѣшней харчевни едва ли гдѣ другая устоитъ. Ужъ я гдѣ-гдѣ не былъ. И по московской машинѣ ѣзжалъ изъ Тосны, и изъ Царскаго, и изъ Краснаго по петергофской, вездѣ въ тѣхъ краяхъ харчевни хуже здѣшней. Пра. Здѣсь ящо благодать.

— А ты что же въ Царскомъ-то дѣлалъ?— спросилъ мастеровой Шилова.

— Тамъ за Ижорой камень ломалъ.

— Выгодно?

— Я зимой робилъ; ну, такъ за сажень платили по цѣлковому на своихъ харчахъ.

— Мало. Чать, сажени-то въ день не наломаешь.

— Каковъ камень... Иной камень такой твердой, что порохомъ надо брать, на такое ужъ мѣсто попадешь. Ну, тогда конечно берешь и посуточно—цѣлковый и съ укладкой вмѣстѣ. А ежели теперь камень ломкой—знай только подковыривай, ломомъ. Тогда и полторы сажени наломаешь. Вотъ кабы лошадь своя была, возить бы сталъ къ рѣчкѣ на пристань—тоже по цѣлковому за сутки платятъ.

Двое рабочихъ закурили трубки, отъ нихъ попросили закурить и мастеровые.

— Ну, а теперь какъ же вы? — спросилъ мастеровой, раскуривая трубку у судорабочаго.

— Да кои по домамъ, кои здѣсь остаются.

— Ну, теперь по вашему-то занятію врядъ ли будетъ работа. Ваша работа, что наша: мы вашу не умѣемъ, вы нашу.

— И что это за работа! Вотъ наша работа, такъ работа,—сказалъ съ гордостью другой мастеровой.

— Кто споритъ — вы кузнецы, по облику видно.

— То-то и есть.

— Что вы хвалитесь-то!—вскричалъ Панфилъ Прохорычъ.—Вы думаете, что только вы и есть люди, а мы и не люди!

Мастеровые захохотали.

— Чего смѣетесь? Вы думаете, и мы не умѣемъ полосы лить, али въ горнахъ огонь раздувать, али по ремню наждакомъ сталь шлифовать?— проговорилъ съ азартомъ Панфилъ Прохорычъ и закраснѣлся.

— Э-э! Ты, братъ, вѣрно слыхалъ что-нибудь отъ людей.

— Не слыхалъ, а самъ робилъ въ заводѣ.

— Что про это говорить! А знаешь ли ты, что такое буравъ?

Панфилъ Прохорычъ разсказалъ.

— Что жъ тебя нѣмецъ мастеръ прогналъ, что ли?

Панфилъ Прохорычъ разсказалъ про свое житье въ заводѣ. Онъ долго толковалъ имъ устройство горныхъ заводовъ и спорилъ насчетъ плавки металловъ. Оказалось, что питерскіе мастеровые имѣютъ смутное понятіе о происхожденіи чугуна и желѣза, потому что этотъ матеріалъ они получаютъ въ готовомъ видѣ и перерабатываютъ на разныя вещи. Горюновъ хвастался тѣмъ, что они, петербургскіе мастеровые, можетъ быть перерабатываютъ то желѣзо или ту мѣдь, которую онъ съ своими земляками сперва добывалъ изъ земли въ видѣ руды, а потомъ плавилъ, и начиналъ разсказывать, какимъ образомъ добывается руда и т. д. Но петербургскіе мастеровые и тутъ задѣли его за живое, сказавъ, что у нихъ на фабрикѣ употребляется въ работу только англійское желѣзо, а сибирское желѣзо ни почемъ, и имъ только обиваютъ крыши.

Скоро послѣ разговора трое мастеровыхъ ушли, а четвертый остался. Онъ сказалъ, что на квартиру не пойдетъ, вздремнетъ здѣсь, а вечеромъ — что Богъ дастъ.

Вошелъ хозяинъ, оглядѣлъ нашихъ рабочихъ.

— Ну что? Кончили?—спросилъ онъ, обращаясь къ Егору Шилову.

— Будетъ. А все-таки, Сидоръ Данилычъ, плоховато, больно плоховато становится годъ отъ году.

— Это ужъ такъ. Теперь вотъ желѣзная дорога много портитъ вашему дѣлу, ну опять и народу нонѣ много. Нынѣ я посмотрѣлъ на желѣзной дорогѣ, такъ народу, братецъ ты мой, изъ Питера страсть что ѣдетъ. Это полонъ вокзалъ; билетовъ даже не достало. Такъ половина и не уѣхала. И это еще ничего, а то человѣкъ двадцать и билеты взяли, да въ вагоны не попали—некуда.

— Въ другой разъ уѣдутъ.

— Ну, нѣтъ. Я было имъ посовѣтовалъ просить обратно деньги—не даютъ. Я взялъ два билета и пошелъ къ начальнику станціи, сталъ просить деньги—не даютъ. Зачѣмъ, говоритъ, опоздали? Мы, говоритъ, и билетовъ выдаемъ столько, сколько въ вагонахъ можетъ приблизительно помѣститься народу, поэтому мы, говоритъ, и кассу ранѣ запираемъ. Такъ-то. А прежде не то было. Худое должно быть житье въ Расеѣ.

— И не говори.

— А! Потемкину! Что, другъ сердечный?— проговорилъ Сидоръ Данилычъ весело, подойдя къ оставшемуся мастеровому.

Мастеровой снялъ фуражку и принялъ прежнее положеніе.

— Али старуха опять?

— Чего и говорить!

Сидоръ Данилычъ старался добиться отъ Потемкина слова, но тотъ упорно молчалъ, глядя въ полъ. Сидоръ Данилычъ пошелъ.

— Сидоръ Данилычъ... голубчикъ...

— Что вѣрно не допито?

— Все пропито... Дай косушечку, голубчикъ.

— Ну, нѣтъ.

— Сидоръ Данилычъ... Эхъ!—Потемкинъ всталъ. Али ты меня не знаешь?... Семь лѣтъ я къ тебѣ хожу.

— Знаю, Потемкинъ, знаю... Только, братъ, ты забаловался много.

— Вчера же я тебѣ отдалъ трешникъ.

— А обѣщалъ сколько?.. Нѣтъ, братъ, шалишь! Ты у меня обманомъ-то на одной недѣлѣ на три цѣлковыхъ забралъ.

— Сидоръ Данилычъ!

— Будь спокоенъ, не дамъ. Иди куда хошь... Ахъ, Потемкинъ! человѣкъ-то ты хорошій, по шестидесяти рублей зарабатываешь...

— При людяхъ-то хоть бы не срамилъ... Ей-Богу, ходить къ тебѣ перестану.

Сидоръ Данилычъ ушелъ, а Потемкинъ сѣлъ къ печкѣ и задумался. У нашихъ рабочихъ былъ только что поданъ полуштофъ. Видя болѣзненную фигуру петербургскаго мастерового, пренебреженіе къ нему хозяина харчевни и его мольбы объ водкѣ,

и думая, что онъ будетъ радъ выпить даромъ стаканчикъ, Егоръ Шиловъ сказалъ ему:

— Эй ты, какъ тебя?

— Потемкинъ.

— Иди сюда.

— Мнѣ и здѣсь хорошо.

— Мы угостимъ тебя.

— Убирайтесь вы къ чорту.

— Нѣтъ, другъ, выпей... Мы отъ души.

— Что у васъ много денегъ, что ли? Удивить меня хотите?

— Ну, полно, выпей.

— Не стану... Я еще не нищій и не хочу, чтобы меня укоряли тѣмъ, что я водку Христа ради пью.

— Ты вѣрно только самъ угощать любишь, ишь какой баринъ! — сказалъ Панфилъ Прохорычъ.

— Я съ тѣми пью, кого знаю.

— А мы, по-твоему, что такое? — присталъ Егоръ Шиловъ.

— Глупъ, братецъ, ты—и больше ничего. Неужели я не знаю по обличью, что вы судорабочіе.

— Отчего же ты не пьешь?

— Не хочу. Компанія ваша мнѣ не по-сердцу; о чемъ я, столяръ, стану толковать съ судорабочимъ? Нешто мнѣ интересно, что у васъ тамъ творится! также и вамъ со мной скучно будетъ, если я насчетъ своего ремесла стану говорить. Да я вотъ еще о своемъ занятіи и говорить сегодня не намѣренъ, и сижу потому, что мнѣ здѣсь очинно хорошо. И если бы хозяинъ далъ косушку, еще было бы лучше, потому я скоро бы заснулъ... Я сегодня молчать хочу и буду молчать.

И Потемкинъ нахлобучилъ на лобъ фуражку, обнялъ руками трубку и уперся на печь.

Наши рабочіе очень захмѣлѣли къ вечеру и потому ужъ не могли идти гулять. Пелагея Прохоровна хотя и не пила водки, но у нея разболѣлась голова отъ табачнаго дыма и начинало болѣть горло. Она звала брата искать постоялый дворъ, но онъ не хотѣлъ отстать отъ компаніи. Поэтому она ушла на барку, выдавъ брату по его настойчивой просьбѣ два рубля. Въ баркѣ она устроила себѣ гнѣздо подъ досками, но не могла долго уснуть. Ночью явился Панфилъ съ Егоромъ Шиловымъ и еще другимъ судорабочимъ, Фроломъ Яковлевымъ.

Утромъ у Пелагеи Прохоровны заболѣло горло.

— Что это, какъ у меня горло заболѣло? Прежде болѣло, да не такъ.

— Пройдетъ. Вотъ сегодня найдемъ квартиру, завтра въ банѣ выпаришься и пройдетъ, — говорилъ Егоръ Шиловъ.

— И у меня тоже горло болитъ,—сказалъ Панфилъ, какъ бы желая показать товарищамъ, что на болѣзнь нечего обращать вниманія.

Наконецъ пошли нанимать квартиру съ Егоромъ Шиловымъ, который оставался въ Петербургѣ и хотѣлъ поступить куда-нибудь на фабрику или возить зимой снѣгъ и разныя нечистоты. Онъ слыхалъ, что этимъ занятіемъ крестьяне много въ зиму зашибаютъ денегъ. Егоръ Шиловъ былъ знакомъ съ Петербургской и Выборгской стороной; было у него нѣсколько пріятелей изъ мастеровыхъ, и поэтому онъ зналъ, гдѣ больше живутъ рабочіе разныхъ фабрикъ и заводовъ, а попавши на квартиру къ рабочимъ, онъ скорѣе разсчитывалъ поступить на мѣсто.

Было воскресное утро, и поэтому народу на набережной было мало, кабаки заперты, и около нихъ нѣтъ ни одного человѣка, только въ воротахъ дровяныхъ дворовъ и въ мѣстахъ, примыкавшихъ къ фабрикамъ и заводамъ, толпился рабочій людъ. Нѣсколько заводовъ, несмотря на праздникъ, были въ дѣйствіи, но тамъ тоже рабочаго люда безъ дѣла не видѣлось.

— Пелагеѣ Прохоровнѣ! — услышала Мокроносова голосъ Петрова.

Пелагея Прохоровна остановилась. Изъ одной кучки человѣкъ въ двадцать, стоявшихъ наискосокъ отъ воротъ дровяного двора, отошелъ на встрѣчу Пелагеѣ Прохоровнѣ Игнатій Прокопьичъ. На немъ надѣто было пальто на ватѣ, крытое чернымъ драпомъ, на ногахъ триковые брюки и на шеѣ ситцевый розовый платокъ; на головѣ была новенькая фуражка, на ногахъ простые сапоги.

Онъ курилъ папироску. Во всемъ этомъ нарядѣ Пелагея Прохоровна не скоро узнала Петрова.

— Ну, какъ дѣла? — спросилъ онъ.

— Да вотъ брата я разыскала — камень плавилъ.

— Поздравляю. А вы, молодой человѣкъ, какъ теперь думаете?

Панфилу Прохорычу показалось, что этотъ франтъ издѣвается надъ нимъ, называя его молодымъ человѣкомъ; Петровъ ему сразу не понравился и онъ не отвѣтилъ на вопросъ.

— Ну-съ, а я все знаю-съ... Я вчера былъ въ домѣ Филимонова,—продолжалъ Петровъ:—дворникъ-то цѣлыя сутки просидѣлъ въ части, требовали и майора—нейдетъ; къ нему опять повѣстку, а наконецъ и сама полиція пріѣхала, стали съ него взыскивать деньги за непрописку васъ. Теперь онъ въ водянкѣ и Вѣра Александровна очень ухаживаетъ за нимъ.

— Что жъ, и кухарка есть?

— Какъ же. Старушонка какая-то. Ну, гдѣ же вы поселились?

— Мы идемъ квартиру искать.

— Постойте... Молодой человѣкъ, вы къ чему приспособлены, то-есть къ какому ремеслу?

— Это мое дѣло!—отвѣчалъ нехотя Панфилъ.

— Какой ты, Панфилъ, неучъ; вотъ и видно, все съ судорабочими бы тебѣ жить!

— Видите ли, я почему спрашиваю. Квартиры у насъ вы пожалуй не скоро сыщете, потому что здѣсь по нашему вкусу мало квартиръ, и поэтому рабочіе каждой фабрики или завода живутъ отдѣльно отъ рабочихъ другихъ фабрикъ; это ужъ рѣдкость, чтобы въ томъ же домѣ жило нѣсколько человѣкъ изъ разныхъ фабрикъ и заводовъ; къ тому же здѣсь

и домовъ большихъ нѣтъ. Ну, если вы хотите найти квартиру для себя, то вамъ какую же надо квартиру? Рабочее семейство васъ всѣхъ не приметъ, потому что оно васъ не знаетъ; нанимать цѣлую квартиру—двѣ комнаты съ кухней,—еще не отдастъ домохозяинъ, скажетъ: можетъ, еще мазурики какіе... Право. А вотъ, если вашъ братецъ захочетъ съ нами работать на литейномъ заводѣ, тогда мы легко сыщемъ квартиру.

— А мнѣ тамъ можно робить?—спросила Пелагея Прохоровна.

— Нѣтъ, у насъ женщины не работаютъ. Вотъ тутъ недалеко обойная фабрика была, назадъ тому два года работали и женщины, только теперь женщинъ тамъ замѣнили мальчиками. А то, если хотите, можно на сахарный заводъ поступить.

— А сколько тамъ платятъ?

— Ну, вы ужъ и объ цѣнѣ!... Вамъ копеекъ сорокъ дадутъ, не больше. Если вы хотите, то я схожу къ Лизаветѣ Ѳедосѣевнѣ. Она вотъ тутъ за дровянымъ дворомъ съ сестрой и съ мужемъ живетъ; у ней теперь есть комната, потому вчера ихній жилецъ повздорилъ съ ними и вечеромъ же перешелъ на другую квартиру. Сестра-то Лизаветы Ѳедосѣевны на сахарномъ заводѣ работаетъ, такъ вотъ вамъ и легко будетъ поступить туда.

— А развѣ у васъ трудно на заводы поступить?

— То-то, что у насъ, молодой человѣкъ, въ народѣ никогда нѣтъ недостачи и нашему брату, мастеровому, тоже хочется, чтобы всѣ работали поровну, а то за что же другой будетъ получать деньги, не умѣя ничего дѣлать? Поэтому у насъ мастера и не нуждаются въ приходящихъ, говорятъ, не надо, а если такого человѣка никто въ заводѣ или фабрикѣ не знаетъ, то его осмѣютъ рабочіе и ему не попасть туда. А если онъ съ кѣмъ-нибудь работалъ прежде гдѣ-нибудь, или просто знакомъ, тогда его примутъ тотчасъ же, и уже за него въ отвѣтѣ тотъ, который рекомендовалъ его.

Петровъ ушелъ во дворъ. Свободные рабочіе приставали къ Панфилу Прохорычу и Егору Шилову и стали острить надъ ихъ произношеніемъ; но Панфилъ скоро заинтересовалъ ихъ всѣхъ знаніемъ мастерскихъ оборотовъ и своими остротами, такъ что всѣ мастеровые рѣшили, что этотъ оборвышъ непремѣнно состряпалъ какую-нибудь штуку на какой-нибудь фабрикѣ или заводѣ, почему и слоняется по судамъ. Съ своей стороны Панфилъ Прохорычъ видѣлъ въ этихъ мастеровыхъ людяхъ гораздо болѣе рѣчистыхъ и съ бо́льшею смѣткою, чѣмъ мастеровые его родины.

Съ Егоромъ Шиловымъ почти не разговаривали, и онъ не зналъ, что ему дѣлать.

— Панфилъ, я пойду!—сказалъ онъ.

— Куда ты пойдешь? живи съ нами.

— Что онъ, женихъ твоей-то сестрѣ, что ты его приглашаешь?—спросилъ Панфила одинъ молодой мастеровой.

— Глупъ, братецъ, ты, и больше ничего,—сказалъ разсердившись Егоръ Шиловъ и пошелъ прочь.

Мастеровые захохотали. Егоръ Шиловъ ушелъ, не простившись ни съ Панфиломъ, ни съ его сестрой.

— Нанялъ, за два рубля, комнату. Пойдемте,—сказалъ Петровъ, выходя изъ-за полѣнницы.

Пелагея Прохоровна и братъ ея поселились на квартирѣ у мѣщанки Лизаветы Горшковой.

XXXIV.

Домъ, въ которомъ жила Лизавета Ѳедосѣевна Горшкова, былъ полукаменный. Нижній этажъ, сложенный изъ кирпича, когда-то вмѣщалъ въ себѣ лавки, но теперь на немъ не только не было штукатурки, но не было даже и дверей тамъ, гдѣ когда-то были лавки. Во второмъ деревянномъ этажѣ съ девятью окнами, выходящими къ дровяному двору, рамы были съ разбитыми стеклами, съ замазанными бумагой или просто заткнутыми тряпкой дырками. Къ этому этажу со стороны дровяного двора была сдѣлана крутая лѣстница съ перилами; лѣстница очень стара, съ ступеньками, прикрѣпленными бичевками, такъ что невольно думалось, что тутъ, въ этомъ этажѣ, живутъ не рабочіе, а какіе-нибудь другіе люди, которые или не дорожатъ своею жизнью, или не умѣютъ состроить новую лѣстницу. На перилахъ этой лѣстницы, наверху, и на протянутой вдоль дома бичевкѣ сушилось разное бѣлье. Направо отъ лѣстницы домъ примыкалъ къ забору, выходящему въ какой-то переулокъ, за которымъ тотчасъ начиналась фабрика. Во дворѣ было очень грязно; о зловоніи и разговаривать нечего.

Петровъ не повелъ Пелагею Прохоровну по лѣстницѣ. Они завернули къ противоположной сторонѣ дома. Тамъ стояла полѣнница барочныхъ дровъ, были три гряды, съ которыхъ уже до половины были выбраны капуста и картофель, и росла одна березка.

— Вотъ и у насъ въ Питерѣ жильцы заводятся своимъ домомъ. А знаете ли, Пелагея Прохоровна, что эти три гряды принадлежатъ восьми семействамъ, которыя живутъ во второмъ этажѣ? Я думаю, у нихъ много было ссоры изъ-за того, кому въ какомъ мѣстѣ сажать, да и теперь безъ ссоры, чай, не обходится. Вотъ и береза тоже. Ну, отчего бы не срубить ее, еще гряда бы была! «Не мѣшаетъ, говорятъ, пусть ее стоитъ; по крайней мѣрѣ дѣтскія пеленки можно на ней сушить».

— Ну, а что жъ та лѣстница, куда идетъ?

— Это фальшивый ходъ. Тутъ прежде, по этой лѣстницѣ, когда домъ не былъ еще очень старъ, ходили въ квартиру хозяина дома, потомъ въ ней жилъ приказчикъ дровяного двора, но сдѣлался пожаръ въ его квартирѣ, упали потолки. Вотъ хозяинъ лѣсного двора и велѣлъ заколотить эту квартиру. Однако наши бабы добрались и до нея. Есть у насъ въ домѣ квартира Селиванова, такъ его сестра стала разъ вколачивать въ стѣну гвоздь, оказалось, что гвоздь куда-то прошелъ въ пустое мѣсто, а доска была поставлена и держалась на карнизахъ. Вотъ мужъ ея взялъ, подрубилъ эту доску, вынулъ и такимъ образомъ открыли пустую квартиру, въ которой зимой многіе сушатъ бѣлье и въ которую ходятъ черезъ квартиру Селиванова.

Съ этой стороны домъ нѣсколько мѣнялъ свою наружность. Казалось, что онъ какъ вверху, такъ

и внизу имѣетъ по двѣ половины, именно потому, что въ серединѣ дома внизу было большое закоптѣлое отверстіе, а вверху въ окнѣ вовсе не было рамы, и тамъ стояли какіе-то поломанные горшки и бутылки и висѣла юбка; внизу, по лѣвую сторону, въ двухъ окнахъ были рамы и въ форточку одного окна выходила желѣзная труба; направо было три окна съ рамами и разбитыми въ нихъ стеклами.

— Вотъ я тутъ и живу, направо. Насъ тутъ, въ двухъ берлогахъ, помѣщается восемнадцать человѣкъ. Ничего, живемъ дружно и другъ у друга не воруемъ; отъ постороннихъ воровъ насъ тоже Богъ спасаетъ. Да и правда, что украсть-то у насъ, кромѣ инструментовъ, нечего. А налѣво живетъ кузнецъ. Онъ работаетъ на заводѣ, когда у него дома нѣтъ работы, а какъ только достанетъ работу, дома мастеритъ.

Петровъ провелъ Пелагею Прохоровну и ея брата по узкой, крутой, съ двумя оборотами, лѣстницѣ во второй этажъ. На площадкѣ передъ окномъ безъ рамы были три двери. Петровъ отперъ дверь направо; тамъ оказалось еще два хода—напротивъ двери, и налѣво отъ входа. Они вошли налѣво въ узенькую прихожую, изъ которой ходъ былъ въ кухню и еще направо. Въ кухнѣ пожилая, высокая, худощавая женщина суетилась около печи; откуда-то слышался дѣтскій плачъ и мужской голосъ.

— Вотъ, Лизавета Ѳедосѣевна, и жиличка съ братомъ,—сказалъ Петровъ.

Женщина поглядѣла на Пелагею Прохоровну и ея брата, и стала что-то мѣшать въ чугунѣ.

— Согласны вы ихъ принять?

— Да ужъ коли сказала, такъ надо. Софья!—крикнула она, поворачивая голову къ двери.

Оттуда вышла молодая, низенькая женщина съ ребенкомъ и поклонилась всѣмъ въ одинъ разъ.

— Вотъ надо имъ устроить. А у васъ, поди, ничего нѣтъ?

— Ничего. Я въ кухаркахъ жила,—сказала Пелагея Прохоровна.

— Какъ же ты сказалъ, что она изъ фабричныхъ?—обратилась хозяйка къ Петрову.

— Она въ провинціи работала, а здѣсь еще недавно.

И Петровъ, распростившись съ хозяевами и новыми жильцами ихъ, вышелъ.

Комната, которую нанялъ Пелагеѣ Прохоровнѣ Петровъ, была маленькая, и свѣтъ въ нее проходилъ черезъ пространство между перегородкой и потолкомъ изъ сосѣдней комнаты, занимаемой хозяевами Въ ней былъ всего только одинъ съ тремя ножками стулъ.

— Вы идите пока въ нашу комнату. Вотъ Данило Сазонычъ придетъ, онъ все вамъ устроитъ,—сказала молодая женщина.

Комната, занимаемая хозяевами, имѣла два окна, выходящія къ дровяному двору. Она была бѣдно, но хорошо меблирована и даже двѣ кровати занавѣшены.

Софья Ѳедосѣевна стала разспрашивать Пелагею Прохоровну, откуда она, и обѣщала свести завтра на сахарный заводъ, но Лизавета Ѳедосѣевна сказала, что завтра надо бѣлье стирать, и поэтому Пелагея Прохоровна можетъ быть чѣмъ-нибудь обзаведется. Панфилу Прохорычу надоѣло слушать бабью болтовню, и онъ ушелъ изъ квартиры.

Пелагеѣ Прохоровнѣ очень понравился ребенокъ, но у этого ребенка было бѣльмо на лѣвомъ глазу.

— Это вашъ ребенокъ-то?—спросила она Софью Ѳедосѣевну.

— Мой. Только отецъ-то его померъ.

— Экая жалость! А сколько вы замужемъ были?

— Мы не были обвѣнчаны. Онъ все сбирался, голубчикъ, да деньгами не могъ раздобыться. А я хоть и работала, такъ жила съ матерью. Мать чахоточная была, и мнѣ ее не хотѣлось пускать въ больницу.

Начали говорить о работѣ. Софья Ѳедосѣевна говорила, что женщинъ больше обижаютъ, чѣмъ мужчинъ, и меньше даютъ противъ мужчинъ дѣла; поэтому женщинъ мало работаетъ въ сравненіи съ мужчинами, и работаютъ большею частью дѣвушки, привычныя къ фабричной работѣ съ малолѣтства въ провинціи или здѣсь въ Петербургѣ; но эта работа многихъ изъ нихъ убиваетъ преждевременно.

— Мнѣ двадцать девятый годъ; я начала работать съ восьмого года здѣсь, въ Петербургѣ,—говорила Софья Ѳедосѣевна.

— Неужели и у васъ въ Петербургѣ такъ же берутъ въ работу, какъ и у насъ въ горныхъ заводахъ?

— Не знаю, какъ тамъ у васъ. По вашимъ разсказамъ, ваша жизнь тоже похожа на нашу, только васъ давила крѣпость, а насъ самосудство.

— Ну, и у насъ, Софья Ѳедосѣевна, тоже приказчики помыкали нами, какъ господа.

— У насъ это вѣжливѣе дѣлается. Да вотъ я про себя разскажу. Мать моя была можетъ быть такая же женщина, какъ и я. Судить объ ней я не могу, потому что была немного постарше этой дѣвчонки. Можетъ быть, она и любила меня, только къ чему и любовь, когда ѣсть нечего... Вѣдь вотъ и у меня не всегда есть заработокъ; бываетъ, что по четыре дня безъ работы живешь. Починку на себя и для ребенка нечего считать за работу. Хорошо еще, что съ сестрой живемъ дружно... А моя мать вѣроятно была одна одинехонька. Должно быть ей было не въ моготу съ ребенкомъ, и она продала меня. На седьмомъ году меня заставляли сучить бичевки, ткать. Къ четырнадцатому году я только и умѣла, что бичевки дѣлать и ткать ковры. Я не была крѣпостною; меня считали за воспитанницу, и я за то, что меня кормили хлѣбомъ и одѣвали, должна была повиноваться. Но вотъ я узнала, что срокъ моему вскормленію кончился. У меня были подруги. Всѣ мы были конечно противъ нашихъ воспитателей; имѣли много вѣры въ себя, думали, что намъ и руки-то оторвутъ, требуя насъ на работу. Оказалось не то. Куда мы ни придемъ,—нужно учиться сызнова; ткачей мало изъ женщинъ, и заработокъ этотъ, какъ мы узнали, дешевле противъ прежняго на половину... Потомъ я работала

на бумажной мануфактурѣ. Насъ было тамъ по крайней мѣрѣ до двухсотъ женщинъ, и замѣтьте, замужнихъ было только штукъ тридцать. Я сперва находилась при чесальнѣ и получала въ день по 15 коп. Нѣкоторыя женщины получали и 75 коп., но это такія, которыя были въ близкихъ отношеніяхъ съ мастерами, конторщиками, начальствомъ, и трудъ ихъ былъ очень легокъ. Имъ стоило только смотрѣть, направлять машины и распоряжаться дѣвчонками. Я тамъ ничего не пріобрѣла: все, что получала, шло на одежду и на хлѣбъ. Оттуда перешла на обойную фабрику. Тамъ машинъ было мало, и нашему брату приходилось растеребливать и сортировать хламъ. Вдругъ фабрика закрылась, и намъ за три недѣли не заплатили заработку. Нужно было платить за квартиру, лавочнику; а тутъ вышли новые порядки — нужно въ полицію платить за адресный билетъ. Меня посадили въ часть.

— А вотъ угадай, гдѣ я былъ?—произнесъ въ это время хриплымъ голосомъ вошедшій мужчина.

Софья Ѳедосѣевна замолчала, и лицо ея сдѣлалось печально.

— Ужъ ты всегда сумасбродничаешь. Гдѣ ты былъ, подлецъ?—кричала Лизавета Ѳедосѣевна.

— Извините, Лизанька...

— Ахъ ты, пьяница! Тутъ ѣсть нечего...

— У насъ за то есть.

Нѣсколько минутъ продолжалось молчаніе. Пелагея Прохоровна хотѣла уйти, но неловко было. Софья Ѳедосѣевна, уперши голову одною рукою и глядя на спящаго ребенка, молчала. На лицѣ ея Пелагея Прохоровна замѣтила какую-то жалость.

— Господи! И когда это кончится!..—проговорила Лизавета Ѳедосѣевна. По ея голосу слышно было, что она плакала.

— Жена!.. Супруга!.. Не реви!.. — говорилъ мужчина; но и онъ, какъ слышно было, плакалъ.

— Это каторга, а не жизнь!

— Ной еще! Ной!.. О, будьте вы прокляты!

Ребенокъ проснулся и заревѣлъ.

Вошедшій былъ высокаго роста, одѣтъ въ суконный кафтанъ, съ краснымъ платкомъ на шеѣ и съ фуражкою на головѣ съ очень высокимъ верхомъ. Ему было на видъ годовъ сорокъ. Волоса на головѣ и бородѣ черные, глаза и лицо выражали невозмутимость. Отъ него пахло водкой.

— Машенька! Ахъ ты, шельмочка!.. — И онъ началъ занимать ребенка, который съ охотою полѣзъ къ нему.

Пелагея Прохоровна ушла въ кухню.

— Ты дома будешь обѣдать? — спросила мужа Лизавета Ѳедосѣевна.

Не получивъ отвѣта отъ мужа, Лизавета Ѳедосѣевна стала торопить сестру.

— Ради Бога, сходи ты за водкой, а то уйдетъ!— говорила она шопотомъ.

— Посмотри, Лиза, за ребенкомъ.

Грустно сдѣлалось Пелагеѣ Прохоровнѣ. Пошла она въ свою комнату; но ей еще грустнѣе стало при видѣ ея пустоты. И она вышла изъ квартиры.

— Это ли жизнь? Неужто за Питеромъ люди живутъ лучше?

Съ этими мыслями она вышла на набережную. Она стояла у забора, потому что идти было некуда, и погода была невеселая. Дождя хотя и не было, но вездѣ грязь, холодно, дуетъ вѣтеръ и дышется какъ-то тяжело; да и самые предметы не веселятъ: фабрики черныя, постройки ветхія, все какъ-то мрачно—и небо, и строенія, и оголяющіяся деревья: на длинныхъ дрогахъ ѣдутъ очень медленно съ желѣзомъ, досками, кулями и т. п. оборванные и невзрачные мужики съ выраженіемъ усталости и какой-то безнадежности: ѣдутъ эти мужики безъ клади, и лошади ихъ тощія, избитыя, съ протертою въ кровь кожею на заднихъ ногахъ и хребтѣ, еле-еле переступаютъ ногами, такъ что не вѣрится, что эти животныя въ состояніи возить по убитой камнемъ мостовой по тридцати пудовъ всякой клади. Народъ здѣсь бродитъ все рабочій, такъ что очень рѣдко увидишь человѣка въ порядочномъ кафтанѣ или сюртукѣ, а если и попадется кто-нибудь одѣтый по-модному или по-приказному, то у него или галстухъ на боку, или сюртукъ продранъ, или другой какой недостатокъ. Хотя въ ихъ разговорахъ и замѣчается удальство, но это не больше, не меньше, какъ привычка съ малолѣтства выражаться и вести себя похожимъ на довольнаго человѣка, въ самомъ же дѣлѣ у этихъ людей многаго не хватало и для крохотной доли довольства. Женщины одѣты тоже бѣдно и легко; всѣ онѣ худощавы, съ изнуренными лицами; маленькія дѣти хотя и носятъ на ногахъ обувь, но ходятъ въ оборванныхъ рубашкахъ и хорошимъ здоровьемъ не обладаютъ. Такъ все и наводитъ тоску, ни на что бы не смотрѣлъ, и все-таки среди этихъ людей нужно жить, нужно привыкать къ этой жизни и жить ихъ жизнью. И тутъ подумалось Пелагеѣ Прохоровнѣ: неужели же эту жизнь нельзя сдѣлать получше?

Пелагея Прохоровна пошла въ лавку, но вдругъ ее перегнала молодая женщина въ палевомъ старенькомъ платьѣ съ загрязненномъ подоломъ и съ небольшимъ ситцевымъ платкомъ на головѣ. Лицо ея выражало отчаяніе и какую-то дикость, точно она съ цѣпи сорвалась. Она шла очень быстро, и какъ только перегнала Пелагею Прохоровну шаговъ на пять, остановилась, посмотрѣла на нее и такъ же быстро подошла къ ней.

— Ты... Ты изъ какого дома? — спросила она Пелагею Прохоровну торопливо.

— Я... тутъ за постоялымъ дворомъ.

— Ты изъ того же дома! И отлично! Пойдемъ, голубушка!

— Куда?

— Въ кабакъ... Чему удивляешься-то? Э-эхъ, матушка, поживешь съ нами, похлебаешь кислаго, захочешь и горькаго. А впрочемъ, какъ знаешь! до свиданья.

И женщина убѣжала въ питейное заведеніе.

Еще больше запечалилась Пелагея Прохоровна: въ провинціи она хотя знавала женщинъ, пьющихъ водку въ кабакахъ, но такія въ каждомъ городѣ

были на перечетѣ, и всѣ ихъ считали за самыхъ отчаянныхъ и развратныхъ; теперь ей показалось, что въ Петербургѣ пожалуй много такихъ женщинъ; она видѣла ихъ въ полиціи; многія кухарки даже хвастались тѣмъ, что отпиваютъ водку жильцовъ. Она ужаснулась при мысли: «неужели и съ ней то же будетъ?»

Однако, несмотря на то, что время шло къ вечеру, и рабочій народъ больше прежняго шелъ въ питейныя заведенія, пѣсенъ не слышалось.

Возвратившись домой, Пелагея Прохоровна очень обрадовалась, что въ ея убогой комнатѣ появилась кровать. Кровать была деревянная съ двумя ножками, которыя были къ ней привязаны; вмѣсто другихъ двухъ ножекъ былъ подставленъ деревянный ящикъ. Досокъ на кровати не было.

— Довольны ли кроватью?—спросилъ Пелагею Прохоровну вошедшій хозяинъ.

— Покорно благодарю; только спать-то какъ?

— О! это мы устроимъ. Вотъ завтра я съ заводу достану бичевокъ, оплетемъ кровать. Отличная штука будетъ.

— А дощечекъ у васъ нѣтъ?

— Опоздали немножко! Въ пустой квартирѣ, что теперь бѣлье вѣшаютъ, почти всѣ стѣны ободрали бабы, кому въ гладильную доску, кому на подтопку, потому житьишко-то наше некорыстное... А вы за всяко просто къ намъ приходите сидѣть-то.

И онъ ушелъ.

Пелагея Прохоровна присѣла на край кровати—шатается. «Еще упадетъ!»—подумала она съ улыбкой. Въ сосѣдней комнатѣ у хозяевъ плакалъ ребенокъ; за стѣной кричали двѣ женщины; гдѣ-то ругался мужчина.

Пелагею Прохоровну тянуло на улицу, потому что и сидѣть было неловко на худой кровати безъ досокъ, и крики изъ сосѣднихъ помѣщеній стали надоѣдать; въ этой комнатѣ становилось темно; у хозяевъ свѣчи не зажигали.

— Что сидишь-то тутъ въ темнотѣ? Иди къ намъ,—сказала Лизавета Ѳедосѣевна, появившаяся въ дверяхъ комнатки.

Она вошла, заглянула на кровать и, качая головой, проговорила:

— Какъ же ты спать-то тутъ будешь? Эдакой онъ, право, оселъ! Это онъ на смѣхъ кровать-то поставилъ... Да. На смѣхъ добрымъ людямъ, а мнѣ на зло, потому что я не хотѣла больше пускать мужчинъ. Они у насъ все добро приломали. Извѣстно, женщина болѣе къ хозяйству норовитъ, а мужчинѣ что!

— Хозяинъ говорилъ, что бичевками опутаетъ.

— Бичевками!.. И ты повѣрила!.. Мало же ты знаешь нашихъ мастеровыхъ... Да онъ пожалуй и обмотаетъ, да такъ, что ты на земь упадешь. Вотъ онъ какой человѣкъ-то!

— Я не просила кровати; на что мнѣ ее!

— Ну, безъ этого нельзя, потому что, во-первыхъ, у насъ во всемъ дому такое множество мышей—страсть! Ло ушки на нихъ подѣланы, тоже должно быть для того, чтобы мышамъ надъ нами смѣяться! А кошки у насъ въ квартирѣ хоть и есть, такъ она, будь проклята, только спитъ. А другое опять—блохъ тоже... Нѣтъ, безъ кровати нельзя... Я ужо посмотрю въ Ермоловскомъ домѣ. Тамъ недавно одинъ мастеровой померши, такъ его жена хочетъ въ деревню ѣхать... Можетъ за полтинникъ-то уступитъ. Ну, а тамъ помаленьку и другое что заведете съ братомъ! Вдругъ нельзя. А гдѣ у те братъ-то?

— Не знаю. Поди, въ кабакъ ушелъ.

— Дѣло плохое... да пойдемъ же къ намъ-то!

Онѣ пошли въ хозяйское помѣщеніе. Софья Ѳедосѣевна укачивала ребенка. Хозяина не было. На столѣ стоялъ кофейникъ и двѣ чашки, изъ которыхъ только къ одной было блюдечко. Кошка дѣйствительно спала на окнѣ.

Хозяйка хотѣла зажечь лампочку, но Софья Ѳедосѣевна сказала, что еще свѣтло, и такъ какъ сегодня праздникъ и завтра надо вставать рано, то можно и раньше лечь спать, на что сестра возразила, что наши черти вмѣстѣ съ блохами не скоро дадутъ заснуть, потому что будутъ пьянствовать до полночи, и ей пожалуй придется идти за мужемъ. Вообще хозяйка жаловалась на мужчинъ, которые пьянствуютъ, и на худое житье; но Софья Ѳедосѣевна защищала мужчинъ, говоря, что они не всѣ пьяницы, и если пьютъ, то непремѣнно отчего-нибудь.

— А отчего жъ мы-то не пьянствуемъ?—сказала Лизавета Ѳедосѣевна.

— Этого еще не доставало... Какая ты, сестра, глупая! До старости дожила, а говоришь Богъ знаетъ что. Вѣдь ты сама знаешь, что у насъ больше привязанности къ дому. Кто бы безъ насъ сталъ ребятъ воспитывать? Кто бы кушанья сталъ готовить?

— Однако возьми Устинью Николавну: у ней двое дѣтей.

— Эхъ, сестра, сестра!—сказала со вздохомъ Софья Ѳедосѣевна. — Что же дѣлать, если и изъ нашей братьи, рабочихъ женщинъ, наберется нѣсколько пьяницъ... Ее надо жалѣть, стараться, чтобы она не пьянствовала!

— Все-таки, по-моему, не хорошо женщинѣ пьянствовать въ кабакахъ,—сказала Пелагея Прохоровна.

— Что про это говорить!..

Женщины замолчали. Ребенокъ уснулъ, но за стѣной все еще ругались мужчины и визжала какая-то женщина.

Пелагея Прохоровна сказала, что у ней болитъ горло, хозяйка посовѣтовала ей выпить сала, а если она этого лекарства принять не въ силахъ, то посовѣтовала простое средство: намазать на правый чулокъ сала съ мыломъ и привязать чулокъ къ горлу. Пелагея Прохоровна сказала, что это средство она знаетъ, но думаетъ, что пройдетъ и такъ.

— Ну, пренебрегать-то этимъ, матушка, нечего. У насъ зачастую эта болѣзнь бываетъ, и мы только этимъ и спасаемся: днемъ заболитъ, къ ночи привяжемъ, а къ утру и пройдетъ.

Въ квартиру Горшкова вошла та женщина, которая звала Пелагею Прохоровну въ питейное за-

веденіе. Она была слишкомъ навеселѣ, размахивала руками, дѣлала отчаянные жесты. Платка на головѣ не было.

— Еще здравствуйте... А, и вы здѣсь? Прекрасно! — проговорила она скороговоркой и сѣла на табуретку.

Хозяева видимо были недовольны ея посѣщеніемъ.

— Представьте!.. Ивановъ сталъ ко мнѣ примазываться. Каковъ соколъ!

И она стала разсказывать, какъ къ ней примазывался Ивановъ и какъ она выпила на его счетъ двѣ бутылки баварскаго. При этомъ хозяйка просила ее нѣсколько разъ говорить потише.

— Этотъ Ивановъ и теперь ждетъ меня у Гриши. И я пойду! Вотъ околѣть, чтобы я не пошла... И ужъ непремѣнно напьюсь...

— Эхъ, какъ хорошо!

— Ей-Богу, напьюсь!

— Не кричи пожалуйста, Устинья Николавна! —сказала Софья Ѳедосѣевна.

— Ну, и ты, Софьюшка, на меня!

Женщины опять замолчали.

— И отчего это ты, Николавна, пьянствуешь? Ну, выпила бы косушку передъ обѣдомъ, легла спать, вечеромъ тоже косушку... Да дома. А то вѣдь ужъ безобразничаешь много! — проговорила Лизавета Ѳедосѣевна.

— Худая я, скверная женщина... И сама знаю объ этомъ. Да что жъ я сдѣлаю? Сердце такъ и сосетъ!

— То-то вотъ и скверно, что ты всѣ деньги пропиваешь, а потомъ твои ребятишки голодаютъ. Нехорошо.

— И сама я знаю, да скверный я человѣкъ. Помереть мнѣ надо, вотъ что. Жизнь мнѣ надоѣла хуже горькой рѣдьки; ребятишки мучаютъ. Съ самаго рожденія, кажется, я не видала радостей; почти все въ работѣ находилась и ничего отъ этой работы не нажила хорошаго. Вотъ мой-то покойничекъ все упрекалъ, что я-де получаю за работу деньги и никакихъ повинностей не несу. А на то онъ не хотѣлъ обратить вниманія, что вѣдь я и за паспортъ платила, и за больницу съ меня брали, хотя я и никогда еще тамъ не лежала! Ну, опять надо и за квартиру заплатить, и ѣсть, и платье сшить; вѣдь я была молода, хотѣлось и одѣться получше. Ну, а великъ ли нашъ заработокъ, сами посудите! Ну, вотъ вышла я замужъ, и помянуть это время нечѣмъ! мужъ — пьяница, сталъ меня бить, не работалъ по недѣлямъ. Мы съ нимъ исходили почти весь Петербургъ; гдѣ-гдѣ не жили! Теперь вотъ я одна, ребята ѣсть, пить хочутъ, имъ надо одѣться, а сами знаете, нашего брата съ ребятами не вездѣ-то жалуютъ на квартирахъ!

— Ты бы отдала дѣтей. Что тебѣ съ ними мучиться?

— Жалко. А придется, видно, отдать... Нѣтъ, я ихъ при себѣ буду держать, пока еще могу работать. Я ужъ сама по себѣ испытала, Лизавета Ѳедосѣевна, каково рости-то въ людяхъ: сама не знала ни отца, ни матери.

Лизавета Ѳедосѣевна зажгла лампочку съ керосиномъ. По щекамъ Устиньи Николаевны текли слезы; Софья Ѳедосѣевна сидѣла грустная, подперши руками голову.

— Мать здѣсь? — крикнула дѣвочка годовъ шести, войдя въ кухню Горшковыхъ.

Подойдя быстро къ Устиньѣ Николаевнѣ, дѣвочка уперлась въ нее взглядомъ и спросила:

— Ты опять напилась?

— Вотъ у насъ какія ласки-то! — сказала Устинья Николаевна и прибавила дочери: — а ты видѣла, что я пила водку?

— Всѣ говорятъ. Потемкинъ тебя въ кабакѣ видѣлъ... Ивановъ видѣлъ.

— Ну, такъ что жъ такое!.. И знаете что, бабы! и жалко мнѣ моихъ ребятъ, больно жалко, а вотъ такъ мнѣ противно дома, такъ... — проговорила Устинья Николаевна и махнула рукой.

— Надо тебѣ, Николавна, перейти въ другое мѣсто: тамъ другіе люди будутъ и нескоро научатъ ребятъ говорить тебѣ въ глаза укоризны. Право. А тебѣ ихъ трудно заставить не говорить; битьемъ не поможешь, хуже будетъ.

— Да я ихъ и не бью. А покою отъ нихъ нѣтъ. Ужъ какъ берегешься, чтобы они не знали, что я пошла выпить,—нѣтъ таки! пойдетъ, вцѣпится въ меня и давай плакать: «не пей, мать! пьяна будешь! работать не будешь!».

— Правда!—сказала дѣвочка съ укоризной.

— Ну, пойдемъ домой. Спокойной ночи. А ты, какъ тебя, приходи ко мнѣ-то, у меня комната отличная,—проговорила Устинья Николаевна Пелагеѣ Прохоровнѣ и потомъ, взявъ на руку дѣвочку, ушла.

Горшковы минуты три сидѣли задумавшись. На Пелагею Прохоровну Устинья Николаевна произвела тяжелое впечатлѣніе. Она сознавала, что Устинья Николаевна права; но вѣдь, думала она въ то же время, не всѣмъ же женщинамъ выпадаетъ такая жизнь. Вѣдь вотъ Лизавета Ѳедосѣевна не пьянствуетъ же, и живетъ, кажется, достаточно, такъ что и кофей пьетъ. Конечно съ дѣтьми было бы похуже, и умри ея мужъ, то и Лизаветѣ Ѳедосѣевнѣ съ дѣтьми не совсѣмъ-то бы было хорошо. Нѣтъ, видно плоха жизнь рабочей женщины въ столицѣ!

Пелагея Прохоровна распростилась съ хозяйками и ушла въ свою комнату. Вскорѣ пришелъ братъ. Онъ былъ трезвый и сказалъ сильно осиплымъ голосомъ, что у него болитъ очень горло, самого его тянетъ и ломитъ ноги. Лизавета Ѳедосѣевна опять-таки посовѣтовала Пелагеѣ Прохоровнѣ привязать къ горлу ея брата чулокъ съ саломъ, а завтра сходить ему въ баню и хорошенько выпариться вѣникомъ.

Пришелъ Данило Сазонычъ и сталъ буянить. Онъ долго буянилъ и разбилъ стекло въ окнѣ. У сосѣдей тоже долго ругались мужчины, и цѣлую ночь плакали дѣти.

XXXV.

Горшковы встали въ пять часовъ; сестры принялись за стирку, а Данило Сазонычъ въ шесть часовъ ушелъ на заводъ, выпросивъ у жены пятакъ на похмелье. Жена и сестра ея были очень рады тому.

что онъ ушелъ и не проспалъ дольше; радость ихъ еще увеличилась, когда онѣ положительно узнали, что онъ ушелъ прямо изъ кабака на заводъ, и ихъ безпокоило только то, чтобы онъ не хлебнулъ водки черезъ мѣру передъ обѣдомъ: хлебни онъ лишнее, пропадетъ послѣобѣденное время, а стало-быть и весь дневной заработокъ. Это для нихъ много значило, потому что Данило Сазонычъ получалъ платы за рабочій день по рублю двадцати пяти коп. сер. и все-таки въ настоящее время былъ долженъ содержателю харчевни Сидору Данилычу десять рублей уже года два, кабатчику Григорью Емельянычу Чубаркову рублей двадцать, да лавочнику рублей пять. Пелагеѣ Прохоровнѣ не нравилось въ Данилѣ Сазонычѣ то, что онъ и не спросилъ объ ея братѣ, а вчера обѣщался взять его съ собой.

Братъ ея повидимому спалъ. Но съ нимъ была горячка, и онъ всю ночь ворочался съ боку на бокъ, только Пелагея Прохоровна, не зная объ этомъ, спала крѣпко. А такъ какъ ей показалось, что онъ спитъ, то она и не стала будить его и пошла на сахарный заводъ, находящійся на Выборгской сторонѣ. Заводъ этотъ былъ обширный, этажа въ четыре, и когда она пришла, онъ былъ въ полномъ ходу. Пелагея Прохоровна многому дивилась тутъ: ее удивляли и машины, и огромные чаны, и печи. Машины стучали, колеса кружились, откуда-то раздавался свистъ, откуда-то показывался паръ, такъ что ей немножко показалось боязно, несмотря на то, что она выросла въ горномъ заводѣ. Но ее ободрило то, что рабочіе расхаживали отъ одного предмета къ другому смѣло, громко разговаривали, насвистывали, острили надъ мастерами-нѣмцами, расхаживающими около машинъ и чановъ съ коротенькими трубками въ зубахъ. «Вотъ теперь я и сама буду сахаръ дѣлать», подумала Пелагея Прохоровна. Мимо нея прошелъ молодой рабочій въ красной ситцевой рубашкѣ, въ фуражкѣ и въ драповыхъ черныхъ брюкахъ, безъ обуви на ногахъ.

— А что, можно мнѣ поступить въ работу?— спросила Пелагея Прохоровна этого франта.

— Теперь врядъ ли примутъ.

— А что?

— Надо приходить до рабочей поры.

Къ рабочему подскочилъ приземистый нѣмецъ въ тиковомъ коротенькомъ пальто, въ фуражкѣ, похожей на чайникъ, и съ сигарой во рту.

— Пашоль!.. Што сталь?.. На табль пишу! — прокричалъ нѣмецъ.

— Вотъ эта женщина въ работу просится, — сказалъ, отходя, молодой рабочій.

— Вонъ!

И нѣмецъ вытолкалъ изъ завода оторопѣвшую Пелагею Прохоровну.

Зашла она еще на двѣ фабрики, и тамъ ее осмѣяли и прогнали мастера-нѣмцы. Спросила она на одномъ литейномъ заводѣ, нѣтъ ли тутъ Игнатья Петрова— такого не оказалось.

Дома хозяйка съ сестрой стирали бѣлье, а Панфилъ Прохорычъ попрежнему лежалъ на полу. Онъ былъ очень блѣденъ, едва поворачивалъ головой и съ большимъ трудомъ произносилъ слова. Пелагея Прохоровна испугалась; Лизавета Ѳедосѣевна была недовольна тѣмъ, что въ ея квартирѣ есть больной, помянула Пелагеѣ Прохоровнѣ о деньгахъ за комнату и совѣтовала поскорѣе отправить больного въ больницу.

Пришелъ обѣдать Данило Сазонычъ. Онъ былъ навеселѣ и молчаливъ. Обѣдъ состоялъ изъ капустныхъ щей со снитками и десятка жареной салакушки. Лизавета Ѳедосѣевна сказала о больномъ.

— Ну, вотъ!.. Всегда вы хотите на своемъ поставить! Надо его непремѣнно въ больницу отправить завтра утромъ. Есть у него адресный-то билетъ?

Оказалось, что у Панфила былъ только паспортъ, а адреснаго билета не было.

— Ну, вотъ! Безъ адреснаго билета никуда не примутъ... Эдакой, право, народъ глупый!

— Что же мнѣ дѣлать?—спросила съ уныніемъ Пелагея Прохоровна.

— Что дѣлать?—сказалъ сердито Данило Сазонычъ.—Нечего тутъ дѣлать!—И онъ ушелъ на работу.

Пелагея Прохоровна была въ отчаяніи. Хозяйка съ сестрой ничего не могли посовѣтовать, и имъ не хотѣлось, чтобы больной находился въ ихъ квартирѣ; обѣ онѣ были задумчивы и при Пелагеѣ Прохоровнѣ шептались, а это приводило ее въ ужасъ. Она пошла въ квартиру Петрова, но тамъ никого не было; кузница тоже заперта. Попалась ей на встрѣчу Устинья Николаевна, шедшая съ узломъ мокраго бѣлья. Та на разсказъ ея покачала головой и сказала:

— Дѣло дрянь; попытайся развѣ сходить въ клинику. Тамъ, можетъ, и примутъ.

Долго ходила Пелагея Прохоровна по двору 2-го сухопутнаго госпиталя; никуда ея не пускаютъ, на вопросы не отвѣчаютъ. Въ глазахъ у нея мутилось, и она не могла выйти изъ двора. Это замѣтили двое студентовъ недалеко отъ препаровочной, и спросили ее, куда она идетъ. Та сказала. Одинъ изъ студентовъ посмотрѣлъ на часы.

— Сегодня уже поздно, привези его завтра утромъ,—сказалъ онъ и указалъ ей выходъ изъ двора.

На завтра Пелагея Прохоровна отвезла на извозчикѣ брата во 2-й сухопутный госпиталь, а когда на слѣдующій день пришла туда, ей сказали, что посѣтителей къ больнымъ не допускаютъ, и она можетъ придти къ больному въ воскресенье. Гдѣ лежитъ братъ и какая у него болѣзнь,—она ничего не узнала. Попыталась она опять спросить студентовъ, но тѣ сказали, что въ госпиталѣ такъ много больныхъ, что объ ея братѣ ровно ничего не могутъ узнать, а только могутъ посовѣтовать ей сходить къ какому-то доктору, который живетъ въ такомъ-то мѣстѣ при госпиталѣ, и выпросить у него дозволеніе навѣщать больного ежедневно. Но и этого доктора она не могла дождаться.

Она возвращалась домой уже вечеромъ. Ее очень безпокоила болѣзнь брата; къ тому же Горшковы говорили, что въ клинику отдаютъ самыхъ безнадежныхъ больныхъ, которыхъ тамъ и живыхъ рѣжутъ безъ церемоніи... Жизнь казалась ей такъ

пуста и тяжела, что она готова была кинуться въ рѣку. Она была слаба и едва переступала ногами. Вечеромъ она захворала, стала бредить и надѣлала много хлопотъ Горшковымъ, которые утромъ отправили и ее во 2-й сухопутный госпиталь.

Игнатій Прокофьичъ усердно работалъ на литейномъ заводѣ, и домой приходилъ только спать. Уставши на работѣ и ослабѣвши отъ огня, онъ даже не заходилъ и въ кабакъ, а ложился спать, чтобы завтра встать раньше. Поэтому онъ и не заходилъ въ квартиру Горшковыхъ, съ которыми былъ давно знакомъ; кромѣ того ему не хотѣлось, чтобы про него думали, что онъ ухаживаетъ за ихъ жиличкою. Но ему все-таки было интересно знать, какъ поживаетъ Пелагея Прохоровна, довольна ли она и ея братъ работой, и онъ хотѣлъ сходить къ нимъ въ воскресенье. Игнатій Прокофьичъ даже завидовалъ тому, что Пелагея Прохоровна живетъ въ отдѣльной комнатѣ, а не такъ, какъ онъ живетъ, съ пятнадцатью рабочими. Ему такая жизнь съ людьми не совсѣмъ нравилась, и онъ жилъ въ артели изъ экономіи. Рабочіе какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ домахъ жили или семейно, или въ артели. Семейный рабочій обыкновенно снималъ квартиру—комнату съ кухней, потомъ комнату разгораживалъ и отдавалъ подъ постой или своимъ роднымъ, или хорошему товарищу. Но Петрову казалось, что жизнь семейнаго человѣка тогда только хороша, когда мужъ и жена любятъ другъ друга, и между ними нѣтъ третьяго лица. Только это убыточно, потому что за такую маленькую квартиру надо заплатить не менѣе 8 — 10 рублей въ мѣсяцъ, да дровъ нужно купить рубля на три зимой. Но и при жизни въ семействахъ, какъ поселилась Пелагея Прохоровна съ братомъ, все-таки и мужу, и женѣ хорошо до тѣхъ поръ, пока не появятся дѣти, которыя и время отнимаютъ у жены, и сосѣдямъ мѣшаютъ. Жить семейно было хорошо еще тѣмъ, что тамъ можно было по средствамъ сварить щи, кашу и т. п., а въ артели готовятъ кушанья сообща, или артель платитъ за столъ по три рубля съ полтиною въ мѣсяцъ съ рыла, и поэтому никогда не бываетъ довольна ни комнатою, которая плохо отапливается и никогда не провѣтривается, ни пищей, которая рѣдко заключаетъ въ себѣ мясо и большею частью состоитъ изъ прокислой капусты, снитковъ и дрянной жареной рыбы-салакушки. Вотъ и на этой квартирѣ у нихъ была стряпуха, называемая маткою, но она, несмотря на то, что товарищи платили исправно деньги, постоянно готовила невкусный обѣдъ и ужинъ, и почти каждый рабочій говорилъ, что онъ не наѣдается, а нѣкоторые такъ предпочитали закусить яичкомъ или тешкой въ питейномъ заведеніи.

На основаніи того заключенія, что жить въ комнатѣ все-таки лучше, чѣмъ въ артели, Игнатій Прокофьичъ, получивши въ субботу разсчетъ, рѣшилъ нанять себѣ комнатку въ томъ же домѣ. Но комнатъ пустыхъ не оказалось, кромѣ какъ у Устиньи Николаевны. Онъ не осуждалъ Устинью Николаевну за пьянство; онъ зналъ, что она ни трезвая, ни пьяная и даже при безденежьѣ не предавалась разврату, а ограничивалась только тѣмъ, что подлаживалась къ мужчинѣ, выпивала нужное количество водки и потомъ убѣгала, оставивъ мужчину ни при чемъ; но ему казалось, что она могла бы воздержаться отъ пьянства,—что онъ ей постоянно и совѣтывалъ и за что она его очень не любила. Поэтому Игнатій Прокофьичъ рѣшилъ поискать квартиру въ другомъ домѣ, и пошелъ прямо въ харчевню къ Сидору Данилычу.

При разсчетѣ, то-есть при полученіи денегъ за работу, за мѣсяцъ, одну и двѣ недѣли, смотря по тому, гдѣ и какъ платили, рабочіе и мастера различныхъ фабрикъ и заводовъ шли къ Сидору Данилычу, которому они были должны и у котораго частенько ѣли и пили въ долгъ, до разсчета; а такъ какъ получка производилась по субботамъ, то Сидоръ Данилычъ въ этотъ день, до двухъ часовъ пополудни, сидѣлъ самъ въ харчевнѣ, а вечеромъ сидѣлъ въ трактирѣ. Мастеровые, при полученіи денегъ, обыкновенно шли въ харчевню, мастера —въ трактиръ. Какъ тѣ, такъ и другіе водили компанію только между своею братьею. Но надо замѣтить, что Сидора Данилыча посѣщали не всѣ мастера и рабочіе, живущіе и работающіе на заводахъ и фабрикахъ на Петербургской и Выборгской сторонахъ; тутъ было меньшинство; постоянныхъ посѣтителей у Сидора Данилыча было человѣкъ полтораста, не больше; другіе рабочіе посѣщали другія харчевни. И теперь, когда въ харчевню пришелъ Игнатій Прокофьичъ, въ ней было не болѣе двадцати пяти человѣкъ.

Сидоръ Данилычъ былъ одѣтъ по-праздничному, въ жилеткѣ, въ черномъ галстухѣ на шеѣ и въ сюртукѣ; волоса у него были гладко причесаны, и онъ былъ очень вѣжливъ и ласковъ.

Рабочіе, празднующіе въ этой и другихъ комнатахъ, были изъ двухъ фабрикъ и трехъ заводовъ, а какъ въ этой комнатѣ нашлось восемь человѣкъ изъ того же завода, на которомъ работалъ и Петровъ, то они и пригласили его къ себѣ.

Пьяныхъ еще не было, потому что многимъ рабочимъ нужно было сегодня уплатить сколько-нибудь долговъ, дать денегъ на хозяйство и потомъ выпариться въ банѣ.

— Совсѣмъ, братецъ ты мой, спутался,—говорилъ одинъ рабочій изъ сидящихъ за однимъ столомъ съ Петровымъ. — Теперь вотъ я получилъ тридцать восемь рублей, а осталось только семь. А почему? Вотъ теперь съ меня сходитъ въ годъ съ семействомъ семьдесятъ пять рублей. За два года я былъ много долженъ, потому такой работы, какъ теперь, не имѣлъ. Ну, вотъ и стали взыскивать—подай да и только; коли, говорятъ, не отдашь, въ полицію посадимъ. Теперь ужъ всѣ заплатилъ долги-то, а тутъ опять за этотъ годъ плати! Просто бѣда!

— Что у тебя, много тамъ земли-то?

— Какое много!.. Думаю вотъ въ мѣщане записаться, такъ хлопотать некогда, и не знаю, куда лучше. И земли опять жалко.

— Что и съ землей, если она не приноситъ пользы. А вотъ у меня и земли нѣтъ, а все изъ долговъ выбиться не могу съ тѣхъ поръ, какъ отъ Шагинскаго завода отсталъ. Тамъ меньше здѣшняго платили, а жилъ-то я ровно спокойнѣе, потому вездѣ въ долгъ вѣрили. А какъ отъ завода-то я отсталъ, — и оказалось, что лавочнику долженъ пять рублей, да въ кабакъ одиннадцать, а тутъ переѣздъ. Ну, они взяли да и представили въ полицію; меня посадили, жена иконы и разное имущество заложила. Пришлось потомъ выкупать.

— И все это водка,—замѣтилъ рабочій.

— Трудно, братецъ ты мой, отстать отъ нея. Ужъ я сколько давалъ зароковъ не пить. И скажу вамъ, эти зароки никогда не нужно класть, потому — не пьешь, крѣпишься долго, а потомъ точно прорветъ;выпьешь осьмушку, да подвернулись пріятели—и пошла круговая... А кабатчикъ радъ, самъ суетъ.

— Это такъ. И народъ у насъ тоже всякій. Вотъ за Московской заставой работалъ, такъ по три рубля въ сутки получалъ. Ужъ кажется, чего лучше. А какъ получишь денежки за мѣсяцъ, и пошелъ! Мѣсяцъ-то работаешь-работаешь, хуже лошади, не доѣшь и не допьешь, а тутъ какъ получишь—и прихоти явятся, и деньги дѣвать не знаешь куда. Надо бы съ долгами расплатиться, напредки оставить, а товарищи говорятъ; «полно-ко печалиться; отличись чѣмъ-нибудь, покажи, что ты не нюня какая-нибудь», да такъ, братцы вы мои, раздосадятъ, что и пойдешь качать, да и прокачаешь все!

— То-то, что какъ деньги-то получаешь черезъ полмѣсяца, али позже, и разсчитываешь впередъ, что-де я получу и могу брать въ долгъ, а потомъ и окажется, что или тебя обсчитаютъ, или ты лишка въ долгъ переберешь.

— Оно бы пожалуй лучше, если бы деньги давали за каждыя сутки!

— Это вѣрно. Потому, тогда бы сперва купилъ, что требуется, а потомъ уже и гулять. А то какъ получишь много денегъ, и удержать себя не можешь. Гордость какая-то явится, важность. Отъ другихъ отстать не охота.

Изъ другой комнаты вышелъ Потемкинъ.

— Честной компаніи! — сказалъ Потемкинъ и поздоровался со всѣми.

— Что ты мало сидѣлъ?

— Некогда!

— Къ полковницѣ идешь?

— Надо. Письмо по городской почтѣ получилъ— зоветъ!

— А! значитъ стосковалась твоя *симпатія*.

— Надо полагать, что такъ. Прощайте, братцы.

И Потемкинъ ушелъ.

Рабочіе стали хохотать надъ нимъ и его симпатіей, т. е. любовницей.

— И удивительное это дѣло, братцы! Неужели это правда?

— Что онъ съ полковницей-то? Тутъ, братъ, не разбери ты ихъ, Господи! Вишь, дѣла-то какія. Года четыре тому назадъ я съ Потемкинымъ работалъ вмѣстѣ за Московской заставой. Онъ тогда получалъ въ мѣсяцъ, какъ и я, около сорока двухъ-пяти рублей. Такого говоруна и знающаго, какъ онъ, у насъ, правду сказать, не было. Это по-французски, по-нѣмецки, по-чухонски — на все мастеръ былъ нашъ Захаръ. Ну, и франтъ онъ былъ тоже хоть куда. Это въ праздникъ одѣнется, шляпу надѣнетъ, пальто, и идетъ съ тросточкой,—хоть куды помѣщикъ. Намъ было и смѣшно, глядя на него, и пріятно, что наша братья мастеровые могутъ щеголять не хуже какого-нибудь дворянчика. Ну, и собой онъ былъ красавецъ, а поэтому и любилъ ухаживать за барышнями, и ему всегда удавалось. Только вотъ разъ онъ, такимъ манеромъ одѣвши, гулялъ на Екатерингофѣ и познакомился тамъ съ полковницей. Ну, и послѣ хвастается, что въ него влюбилась по уши какая-то барыня, и барыня молодая, только не совсѣмъ красивая. «Мнѣ говоритъ, отъ ея любви не будетъ тепло, а вотъ, говоритъ, я у нея попрошу денегъ». Дня черезъ два онъ опять говоритъ: « эта барыня, говоритъ, слѣдитъ за мной; вчера, говоритъ, къ себѣ звала. Я, говоритъ, сталъ отказываться, она пристаетъ. Ну, пошелъ. Квартира, говоритъ, хорошая. Ну, тары да бары и до прочаго дошло». И денегъ ему дала. Вотъ нашъ Потемкинъ и загулялъ, и въ кабаки въ наши нейдетъ: днемъ сидитъ въ трактирѣ, а вечеромъ къ ней. На работу и глядѣть не хочетъ и нашего брата кинулъ.

— Неужели она не могла съ господами заняться?

— То-то, вишь ты, ей Потемка первый подвернулся. А парень былъ красивый. И теперь онъ красавецъ, какъ не попьетъ дня три, да въ банѣ смоетъ сажу. Ну, вотъ полковница и стала уговаривать его жить съ ней, а Потемка этого не хотѣлъ. Какъ ни хорошо у барыни, а все-таки скучно, хочется погулять въ компаніи. Пожилъ онъ съ ней недѣльки двѣ, да и сталъ исчезать. Она видитъ, что какъ волка ни ублажай, онъ все въ лѣсъ смотритъ, поняла, значитъ, что ошиблась, и перестала ему давать денегъ. Придетъ онъ къ ней, посидитъ, она угоститъ его, уложитъ спать, опохмелитъ, а денегъ не дастъ. Потомъ и говоритъ: «я, говоритъ, не люблю, что ты деньги берешь не на добро, а на безобразіе, даже лучше, говоритъ, будетъ, если ходить перестанешь». Онъ такъ и сякъ; станетъ у нея денегъ просить,— не даетъ. Онъ сталъ укорять ее, что она его совсѣмъ испортила, что онъ отвыкъ отъ работы. Дала она ему рублей пять, онъ прокутилъ ихъ, заложилъ и платье и опять къ ней за деньгами. Не даетъ. Видитъ Потемка, что дѣло дрянь, товарищи смѣются, дразнятъ его полковницей, въ кабакахъ водки не даютъ въ долгъ. Вотъ онъ и перешелъ сюда на Петербургскую. И что заработаетъ— все пропьетъ. Бываетъ, что и рубашки на немъ нѣтъ.

Между тѣмъ посѣтителей въ харчевнѣ прибывало больше и больше. Больше и больше выпивалось пива и водки; за столами сидѣло уже порядочное число выпившихъ. Всѣ говорили; немногіе пѣли:

Голова болитъ
Ай люли! (2 раза)
Ай да худо можется,
Да нездоровится,

Нездоровится,
Гулять хочется,
Ай люли!

Харчевня ожила. Всѣ, казалось, были веселы; но всѣхъ веселѣе былъ Сидоръ Данилычъ, самъ подносящій, по требованіямъ, стклянки. Рабочіе, казалось, не знали счету деньгамъ, требовали то того, то другого, но до ѣды не дотрогивались. Водка и пиво уже начинали производить свое дѣйствіе. Нѣкоторые острили надъ Сидоромъ Данилычемъ.

Большинство рабочихъ уже давно работало въ Петербургѣ, и поэтому отличалось отъ рабочихъ провинціи особеннымъ складомъ рѣчи и живостью соображенія. Они отвѣчали не задумавшись, хотя бы отвѣтъ и выходилъ не подходящій; въ ихъ разговорахъ слышалась непремѣнно какая-нибудь острота, хотя и пустая, могущая показаться образованному наблюдателю глупою, но нравящаяся тѣмъ, къ кому она обращается, и вызывающая ихъ хохотъ.

Стало уже темнѣть, а Петровъ все сидѣлъ. Ему весело было сидѣть, потому что такого веселья, какое было здѣсь, въ его квартирѣ не было, да тамъ едва ли даже кто былъ дома.

Вонъ за однимъ столомъ сидятъ шестеро. Въ числѣ ихъ одинъ въ полушубкѣ. Это рослый, здоровый, краснощекій молодой мужчина. Онъ извозчикъ, возящій съ мостовыхъ соръ и снѣгъ зимой, и познакомился съ рабочими сегодня, потому что занялъ ихъ смѣшными разсказами.

— А это ещо что!.. А вотъ какъ меня жена выстегала!—говорилъ онъ.

Всѣ хохочутъ.

— Какъ тебя жена могла выстегать?

— Могла да и все тутъ. Да такъ, братцы вы мои, что впередъ въ баню не захошь! больно сладко.

Рабочіе хохочутъ до слезъ и заставляютъ повторить, что онъ чувствовалъ во время секуціи, острятъ и хохочутъ.

— Да за что же это она тебя угостила?

— Именно угостила. Видишь, какое дѣло-то: пьянствовалъ я двѣ недѣли, она возьми да къ старшинѣ, а тотъ задалъ мнѣ порку. Славно задалъ.

Опять хохочутъ.

— Что жъ ты съ женою сдѣлалъ?

— Чего сдѣлаешь? Поглядѣлъ на нее съискоса и сказалъ: «покорно благодаримъ, Дарья Ивановна!»

— Молодая она?

— Моложе меня... Ну, а потомъ взялъ да и уѣхалъ въ Питеръ съ обѣими лошадьми.

— Хороши, стало быть, бабы.

— Дьявольское отродье... Отъ нихъ надо завсягды обороняться. Теперь я, если съ возомъ ѣду да завижу бабу, въ сторону поворачиваю.

— Боишься, чтобы не выстегала!

— Замѣтилъ: непремѣнно несчастіе будетъ.

Но извозчикъ сталъ заговариваться и отъ него скоро отстали.

Къ столу, за которымъ сидѣлъ Петровъ, подошелъ десятникъ мастеръ, выбранный рабочими и утвержденный главными мастерами для наблюденія за порядкомъ и рабочими, и получающій за это по два рубля въ рабочій день. Нѣкоторые встали и поздоровались съ нимъ; Петровъ сидѣлъ. Онъ не любилъ этого мастера. Десятникъ потребовалъ водки, сталъ угощать рабочихъ и разсказывалъ, какъ онъ поругался въ трактирѣ съ главнымъ мастеромъ Карломъ Карлычемъ.

— Ну, отъ тебя этого не сбудется, потому что ты передъ нимъ юлишь, какъ собака!—сказалъ Петровъ.

— Ахъ ты, калужской азіятъ!—сказалъ десятникъ.

— Я? Вотъ можетъ ты калужскій-то воръ! Господа! какъ онъ смѣетъ такъ обзывать! Вы знаете, чѣмъ пахнетъ это слово?

Это названіе было по понятіямъ рабочихъ самое обидное. Поэтому товарищи Петрова вступились за него. Петровъ пересѣлъ къ другому столу, начали пересаживаться и прочіе.

— А! вамъ Игнашко Петровъ лучше нравится... Погодите!—говорилъ десятникъ.

Трое остались съ десятникомъ.

— Сдѣлай милость. Ишь, разлакомился. У тебя, братъ, шуба-то лисья, да душа-то крысья, а у меня шуба овечья, да душа человѣчья. Кто тебя спасаетъ отъ Карла Карлыча? Кто за горномъ-то спитъ пьяный цѣлый день... Сдѣлай милость, братъ! Мы допекемъ тебя.

— Полакомься! *) Кто говоритъ Карлу Карлычу, что ты вышелъ въ контору?

— Что ты умѣешь дѣлать-то? Разъ принялся на штуку колесо дѣлать, цѣльный день возился и испортилъ, а Петровъ-то по шести колесъ въ сутки дѣлаетъ... Полакомишься, братъ, теперь!—кричали рабочіе со всѣхъ сторонъ.

Десятникъ увидалъ, что дѣло плохо, и ушелъ. Рабочіе стали ругать десятника и тѣхъ, которые сидѣли съ нимъ; за этихъ пристало нѣсколько человѣкъ. Началась ссора, отъ которой Игнатій Прокофьичъ ушелъ. Онъ зашелъ въ кабакъ къ Григорію Чубаркову, называемому по-просту Гришкой. Въ кабакѣ тоже было не мало народу. Извозчикъ, разсказывавшій въ харчевнѣ о томъ, какъ его выдрали изъ-за жены, былъ уже здѣсь и сидѣлъ у дверей пьяный безъ шапки и полушубка, въ вязаной рубашкѣ и ругалъ своего хозяина за то, что тотъ взялъ у него на храненіе тридцать рублей денегъ и не показываетъ глазъ двои сутки.

— Гдѣ жъ у те полушубокъ-то и шапка?

— На фатерѣ оставилъ. Не дали товарищи,— «пропьешь», говорятъ. Гриша! А Гриша! Дай косушечку. Повѣрь: тридцать рублей у Кондратья лежатъ.

— Поворожи!—сказалъ Чубарковъ.

— Нешто я не волхъ?.. Да я, братецъ, по чухонски умѣю!

— Ишь ты, какой ученый.

— То-то и есть... Да я хошь сейчасъ водки достану. Пойду къ кабаку и скажусь, что я дворникъ.

— Ну?—хохотала публика.

---

*) Это слово у петербургскихъ рабочихъ означаетъ все равно, что возрадуйся. Оно употребляется какъ выраженіе обиды, оскорбленія.

— Скажу какому-нибудь судорабочему: зачѣмъ тутъ ходишь—нельзя!.. Гриша! Дай... рубашку возьми... Сапоги.

— Ну, братъ, ты помѣшался. Плохо, видно, тебя жена стегала. Вѣдь ужъ ты и такъ едва сидишь. Иди домой.

— Не пойду. Влазнитъ.

Вошелъ Горшковъ съ узломъ. По лицу его замѣтно было, что онъ пришелъ изъ бани. Выпивши водки, онъ направился домой. Петровъ пошелъ за нимъ.

— А я, братъ, Игнатій Прокофьичъ, давно хотѣлъ поблагодарить тебя, да все какъ-то не подходило случая. Ужъ и жильцовъ же ты намъ поставилъ! Нарочно какъ будто привелъ больныхъ. Свезли въ клинику. Вотъ теперь дѣвчонка у Софьи захворала. Это отъ нихъ. Не хорошо, братецъ!—проговорилъ обидчиво Данило Сазонычъ.

Петровъ поблѣднѣлъ. Онъ разспросилъ подробно и высказалъ сожалѣніе о томъ, что ничего не зналъ раньше.

— Я-то ничего, а вотъ Лизка съ Сонькой сердятся... Я только боюсь, не прилипчивая ли болѣзнь-то у нихъ: кабы бабы не захворали!..

Петровъ предложилъ Горшкову сходить завтра во 2-й сухопутный госпиталь и выразилъ желаніе водвориться къ нему. Они пошли въ квартиру Горшковыхъ. Лизавета Ѳедосѣевна высказала вмѣстѣ съ сестрой свое неудовольствіе Петрову насчетъ жилички.

— Вы меня давно знаете. Съ какой стати я стану дѣлать вамъ на зло? А вотъ вы меня къ себѣ пустите, вмѣсто нихъ.

— Да я не знаю... Я деньги съ нея уже получила... Неловко,—сказала Лизавета Ѳедосѣевна.

— Я ей возвращу деньги.

Лизавета Ѳедосѣевна подозрительно посмотрѣла на Петрова, и ничего не сказала.

— Ну, да ладно, переходи... Ставь, баба, самоваръ, а завтра мы провѣдаемъ ихъ. Что ты давно съ ней, видно, знакомъ-то?

— Да такъ, мѣсяца съ три.

— Ишь ты, шуба овечья—душа человѣчья!

— Да ты, Данило Сазонычъ, не думай чего-нибудь: я съ ней и разговаривалъ-то, кажется, всего раза четыре.

— Что про это говорить!

И Данило Сазонычъ завелъ разговоръ о Потемкинѣ, который говорилъ ему, что переходитъ опять за Московскую заставу.

XXXVI.

Утромъ на другой день Игнатій Прокофьичъ перебрался въ ту комнату, которую наняла Пелагея Прохоровна. Имущества у него было немного: сундукъ, образъ Тихвинской Божіей Матери въ серебряномъ окладѣ и узелъ съ хорошимъ платьемъ. Кровать онъ устроилъ скоро, такъ что къ десяти часамъ онъ и Горшковъ уже были одѣты по-праздничному и пошли во второй военно-сухопутный госпиталь.

Сперва они разыскали Пелагею Прохоровну. Въ палатѣ, которую имъ указали, лежало до пятнадцати женщинъ. Около шести кроватей стояли посѣтители, мужчины и женщины. Когда они подошли къ Пелагеѣ Прохоровнѣ, она спала лежа на спинѣ. Лицо ея было измѣнившееся; а по стклянкамъ, стоящимъ на маленькомъ столикѣ около кровати, можно было заключить, что она уже приняла не малое количество лѣкарствъ. Надъ ея головой, на черной дощечкѣ, было написано мѣломъ названіе болѣзни по-латыни. Они отошли къ двери.

Большинство женщинъ лежало, меньшинство полусидѣло; лежащія говорили съ трудомъ, смотрѣли на одинъ предметъ; полусидящія выговаривали медленно, точно у нихъ въ горлѣ что-нибудь засѣло. Посѣтители, бѣдные люди, одѣтые по-праздничному, говорили тихо, старались придать себѣ бодрость, но это какъ-то не выходило: въ ихъ голосѣ слышалось дрожаніе, глаза выражали любовь, ласку и печаль. Нигдѣ такъ человѣкъ не примиряется съ человѣкомъ, какъ въ больницѣ, какъ бы онъ ни былъ золъ на противника. Невольно посѣтителю приходитъ мысль, что жизнь человѣческая не долговѣчна и изъ больницы очень легко отправиться къ праотцамъ. Тѣмъ болѣе рабочій человѣкъ, видящій постоянно, что больные изъ больницы поступаютъ прямо на кладбище, смотритъ на больныхъ съ великимъ сожалѣніемъ, много думаетъ о прошедшемъ, примиряется съ жизнью и желаетъ себѣ смерти, думая: а вѣдь тамъ лучше? По крайней мѣрѣ, не знаешь, что будетъ завтра, тамъ ничего не чувствуешь... А то живешь, живешь, всегда чѣмъ-нибудь недоволенъ, на каждомъ шагу встрѣчаешь препятствія и наконецъ добьешься того, что умрешь въ больницѣ.

Горшковъ и Петровъ стояли грустные. Имъ невыносимо тяжело было. Но они не говорили, а только взглядывали другъ на друга со вздохами. Къ нимъ подошла сидѣлка, толстая, высокая, пожилая женщина, и сказала, что ихъ знакомой больной операцію въ горлѣ дѣлали недавно и что къ ней не велѣно никого пускать. Печальные вышли изъ палаты Горшковъ и Петровъ.

— Вотъ она, жизнь-то наша!—сказалъ Горшковъ.

— Что про это говорить. Ищемъ, гдѣ лучше, а находимъ могилу. Зачѣмъ родиться-то?—проговорилъ съ досадой Петровъ.

— Слава Богу, что у меня дѣтей нѣтъ,—сказалъ Горшковъ.

Пріятели замолчали и молча ушли до конторы, чтобы справиться о Панфилѣ Горюновѣ.

— Умеръ вчера,—сказалъ писарь, справившійся въ книгѣ.

Горшкова и Петрова точно морозомъ обдало.

— Завтра въ анатомическую снесутъ. Рѣзать будутъ,—сказалъ писарь.

Петровъ взглянулъ на Горшкова, который смотрѣлъ въ полъ.

— А нельзя, чтобы не рѣзать?—спросилъ Горшковъ сердитымъ голосомъ.

— Если родные найдутся... Если кто хоронить возьмется, рѣзать не будутъ, потому что болѣзнь неинтересная.

*

Петровъ и Горшковъ вышли изъ конторы задумчивые.

— Какъ быть-то? Надо хоронить,—сказалъ Горшковъ.

— Зачѣмъ давать имъ рѣзать?

— Нешто человѣкъ скотъ какой? Умеръ и рѣжь. Надо его домой взять.

Но трупа на домъ не дали, а сказали, что его будутъ вскрывать, такъ какъ всѣхъ умершихъ въ клиникѣ вскрываютъ. Запечалились пріятели, но дѣлать нечего. Скоро они нашли на Выборгской же знакомаго гробовщика, которому ничего не стоило сколотить изъ досокъ гробъ и показать его снаружи охрой, за что онъ, по-пріятельски, взялъ рубль серебромъ.

— Теперь, на какомъ кладбищѣ мы его похоронимъ?—спросилъ Горшковъ Петрова.

— Не въ Невскую же его тащить. Конечно, къ Митрофанію. Это наше кладбище.

Сдѣлавши все, что нужно, пріятели пошли домой; но не могли ѣсть и молчали. Лизавета Ѳедосѣевна, пристававшая къ нимъ съ вопросами, наконецъ потеряла терпѣніе.

— Что? померли, что ли?—спросила она.

— Братъ померъ, а той операцію въ горлѣ дѣлали.

— Экія времена-то, Господи! сколько народу-то мретъ. Диви бы, холера!

— Ну, да толковать-то нечего, приготовь чистую рубаху да штаны, — сказалъ Данило Сазонычъ.

— А много ли ихъ у тебя нашито?—проговорила недовольно Лизавета Ѳедосѣевна.

— Умремъ, такъ ничего не нужно будетъ.

Обоимъ пріятелямъ было тяжело, и они вышли на улицу, но и тамъ невеселыя мысли бродили въ ихъ головахъ; къ тому же шелъ снѣгъ. Оба они хотѣли говорить, но ничего не находили, о чемъ завести разговоръ. «Что объ этомъ говорить!» заключалъ каждый и, сдѣлавъ сердитый взглядъ, отворачивалъ голову въ сторону. Но Петровъ злился больше Горшкова.

— Что стоите, али бабъ караулите?—спросилъ рабочій, вышедшій изъ другого двора.

Пріятели промолчали.

— Что, Ѳедулъ, губы-то надулъ! Аль дома худо?—спросилъ, улыбаясь, рабочій Данила Сазоныча.

— Такъ, невесело... Тутъ вотъ квартирантовъ пустилъ къ себѣ, да захворали; вонъ тамъ...—И онъ указалъ на Выборгскую.

— Померли?

— Одинъ померъ; другая-то тоже, можетъ, помретъ... Полакомься!

Рабочій замолчалъ.

— У меня вчера вотъ мать соборовали. Тоже, должно быть, скоро отойдетъ; а маленькій сынишко ногу сломалъ сегодня. Спасибо, студентъ у меня на Дворянской знакомый живетъ, такъ полѣчилъ немножко... Вотъ и полакомься! Чтожъ, какъ вы думаете?

— Ужъ все готово. Надо завтра тащить. Думаемъ, гдѣ ближе—черезъ Литейный, али Троицкой къ Митрофанію.

— А на Волково не ближе?

— Не хочу я на Волково!

Всѣ трое вошли въ заведеніе къ Гришѣ Чубаркову и сѣли за столъ. Молодой извозчикъ сидѣлъ у двери съ растрепанными волосами, съ опухшимъ лицомъ, босой; вмѣсто вязаной рубахи на немъ была надѣта холщевая и холщевые же штаны, вмѣсто суконныхъ брюкъ.

— Не дашь?—говорилъ онъ хозяину заведенія.

— Нѣтъ... Что, Данило Сазонычъ, скучный такой?—обратился хозяинъ къ Горшкову.

Тотъ закурилъ трубку и разсказалъ о причинѣ своей грусти.

— Вотъ теперь надо его тащить, а вѣдь двоимъ-то пожалуй и не дотащить, Игнатій Прокофьичъ!—сказалъ вдругъ Горшковъ Петрову.

— Надо попросить товарищей.

Въ кабакѣ нашлось четыре человѣка, пожелавшихъ отнести гробъ на Митрофаніевское кладбище.

На другой день Горшкову и Петрову было много хлопотъ. Нужно было выхлопотать свидѣтельство на дозволеніе хоронить, брать билетъ на мѣсто въ шестомъ разрядѣ, просить, чтобы покойника позволили поставить въ церковь, чтобы онъ пролежалъ тамъ обѣдню, упрашивать могильщиковъ, чтобы они къ концу обѣдни успѣли выкопать яму и т. п. И за все это нужно было платить деньги, такъ что съ отпѣваніемъ у пріятелей вышло расхода четыре рубля съ копейками. Въ церкви покойниковъ было штукъ пятнадцать, и въ церкви только и было разговору, что объ умершихъ. Обѣдня кончилась; но вотъ началось отпѣваніе всѣхъ покойниковъ разомъ. Каждый зажегъ свѣчку, а если у кого не было денегъ, то тому давали свѣчку. Монотонное пѣніе и особенно «Со святыми упокой» и «Плачу и рыдаю» взволновало въ церкви все общество; начались рыданія женщинъ, кашли, сморканія; тѣ, которыя не рыдали, плакали и, смотря на какой-нибудь гробъ, слегка покачивали головами; мужчины, стоявшіе ближе къ гробамъ, старались не плакать, но слезы сами собой сочились изъ глазъ, и они слегка утирались своими заскорузлыми кулаками; тѣ же, которые стояли дальше и не могли видѣть гробовъ, не плакали, но, тяжело вздыхая, смотрѣли на свои зажженыя свѣчки, какъ бы стараясь этимъ развлечься.

Наконецъ понесли покойниковъ изъ церкви. До могилъ священники не провожали, потому что шестой разрядъ не близко. Въ этомъ разрядѣ было много еще свободныхъ мѣстъ, но ямы вырыты только на аршинъ съ четвертью, потому что на днѣ вода. Гробъ съ Панфиломъ такъ и шлепнулся въ воду.

— Вотъ, братъ, тебѣ и спокой. Ищи, братъ, гдѣ лучше! И жизнь-то худая человѣку на землѣ, и умрешь-то, такъ въ воду попадешь... А вѣдь тоже искалъ, гдѣ жизнь лучше — проговорилъ Данило Сазонычъ, когда стали зарывать гробъ.

— Всѣ мы ищемъ этого.

— Пятнадцатью человѣками меньше стало. А народилось-то поди еще больше.

Саженяхъ во ста отъ могилы Панфила стояли четыре гроба. Ихъ спускали одинъ за другимъ, два поставили рядомъ, другіе два на эти гроба. Это публикѣ не нравилось, и она стала приставать къ могильщикамъ, чтобы не ставили гроба на гроба.

— Не раздерутся... Не велики господа.

— И то еще ладно, что въ разные гроба положены. А то вонъ привозятъ по два и по три въ одномъ гробу,—говорили могильщики.

Скоро народъ разошелся.

Недалеко отъ кладбищенской ограды стоитъ питейное заведеніе, мимо котораго никакъ нельзя пройти ни изъ кладбища, ни въ кладбище.

— Догадливый этотъ народъ кабатчики: отличное мѣсто себѣ выбралъ. Ну, какъ не выпить?—проговорилъ Горшковъ и повернулъ къ кабаку; за нимъ пошелъ и Петровъ, и другіе.

Въ кабакѣ было уже нѣсколько посѣтителей, такъ что скоро въ него набралось до тридцати пяти человѣкъ, отъ чего и стало тѣсно.

— Хорошо, братецъ, тебѣ торговать тутъ!—сказалъ одинъ портной.

— Ничего. А тоже отъ времени много зависитъ,—отвѣтилъ кабатчикъ скороговоркой, наливая въ стаканъ водку.

— Что про это говорить? Поди, въ день-то рублей десятокъ выручишь?

— Все отъ времени. Вотъ теперь осень, народу мретъ больше, ну, и посѣтителей больше.

— Ну, все-таки тебѣ хорошо тутъ.

— А вотъ въ самомъ дѣлѣ, господа, гдѣ по вашему лучше?—проговорилъ кто-то въ народѣ.

— Это то-есть какъ?

— Объ деревнѣ и говорить нечего; въ столицѣ дрянно. Гдѣ же хорошо-то?

Большинство подняло этотъ вопросъ и начало его разбирать; другіе сказали, что объ этомъ разсуждать не стоитъ, и вышли. Въ кабакѣ стало меньше народу, такъ что оставшіеся разсѣлись на стулья и взяли по косушкѣ водки.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, братцы, гдѣ лучше?

— Кабатчику лучше, вотъ особливо ему. Онъ все едино, что попъ: какъ началась обѣдня, и пошли къ нему залить свое горе людишки. Схоронили эти людишки своихъ родныхъ или знакомыхъ, да помянули ихъ у него, онъ и лавку на замокъ.

— Въ кабакѣ лучше,—сказалъ Горшковъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, братцы, въ кабакѣ лучше!—подхватило нѣсколько человѣкъ.

— Именно. Я эти дни какъ собака бѣгалъ и со мной не то лихорадка была, не то что... Голова такъ вотъ и хочетъ треснуть. А какъ выпьешь—немного повеселѣешь. Ну, и пріятели, и все такое. А дома хоть бы не показывался. Вотъ тоже въ церкви... Какъ тяжело! И плакать бы, кажется, не отъ чего: извѣстное дѣло, всѣ тамъ будемъ; нѣтъ, слеза такъ и прошибаетъ... А вотъ какъ выпилъ, ничего. Оно какъ будто тоска какая-то на сердцѣ, а въ головѣ ровно легче.

— Это ты справедливо говоришь. Въ кабакѣ не въ примѣръ лучше, только забываться не надо.

— По-моему, тогда хорошо, когда ничего не чувствуешь.

— Не о времени разговариваютъ, объ мѣстѣ... На работѣ чижало, обижаютъ; дома нехорошо, да и что за домъ, коли своего-то нѣтъ, али хоша есть, да въ деревнѣ. А куда нашему брату идти? Въ кіятръ дорого и времени нѣту; гулять мы не привычны съ господами, тошно... Вотъ одново разу я соблазнился, пошелъ музыку слушать въ манежѣ, да замѣсто музыки въ часть попалъ... Такой, братцы, мнѣ въ части концертъ задали, что всякую охоту теперь отшибло отъ концертовъ. Провались они совсѣмъ!—говорилъ одинъ сапожникъ.

— А по-моему, въ могилѣ лучше, — сказалъ кто-то.

— Ну, это ты, можетъ, съ горя.

— А въ самомъ дѣлѣ, умрешь—и конецъ.

— Это справедливо, никому самъ не мѣшаешь и тебѣ никто не мѣшаетъ. Вполнѣ спокоенъ. Въ церкви-то вонъ не напрасно поютъ: «идѣ же нѣсть болѣзнь, ни печаль, но жизнь безконечна». Не даромъ же мы, братцы, терпимъ такую канитель. А что это справедливо, такъ видно и изъ того, что и по законамъ строго запрещено разрывать могилу покойника. Значитъ, еще и уважаютъ. А въ жизни кто тебя уважаетъ?—проговорилъ Петровъ.

— Именно. Не даромъ, видно, мой братъ повѣсился.

— А вонъ вчера я шелъ по Троицкому мосту... Иду, вдругъ какая-то баба бултыхъ въ Неву, Только ее и видѣли... Городовой кричитъ: «лови! Куды?!..» Значитъ, есть люди, кои сами себѣ смерти желаютъ. Только грѣхъ вотъ.

. . . . . .

Народъ началъ спорить и дѣло чуть не дошло до драки, но пришелъ городовой и сталъ ихъ унимать.

— Нѣтъ, братцы, подлинно въ землѣ лучше. Хорошо бы было и въ кабакахъ, если бы городовые не мѣшали,—сказалъ кто-то.

И народъ разошелся.

XXXVII.

Послѣ похоронъ, предыдущій разговоръ заставилъ сильно призадуматься Игнатія Прокофьича. «Въ самомъ дѣлѣ, въ могилѣ лучше», долго вертѣлось въ его головѣ, и наконецъ его взяло зло, потому что, какъ онъ ни разбиралъ свою жизнь, все приходилъ къ тому же заключенію. «Богатому человѣку вездѣ хорошо,—думалъ онъ,—но и богатый не всегда доволенъ: чортъ съ нимъ, и съ богатствомъ. Не надо мнѣ его. Вотъ такъ бы жить, чтобы и работа была, и деньги водились, и нужды бы не знать». Но вотъ этого-то и трудно, почти невозможно, добиться. Но неужели невозможно? Почему нѣмцы приходятъ въ Петербургъ съ 50 р. денегъ и черезъ десять лѣтъ дома строятъ? Онъ

самъ, бывши мальчишкою, работалъ у одного нѣмца-кузнеца; нѣмецъ тогда нанималъ маленькую квартирку на Гороховой и жилъ очень бѣдно, а теперь у этого нѣмца есть своя фабрика и свой домъ. Почему бо́льшая часть ремеслъ находится въ рукахъ нѣмцевъ, и отчего, если за что-нибудь возьмется русскій, дѣло у него не клеится, русскій разоряется и держится только по торговой части? Вѣдь, кажется, для столярнаго и кузнечнаго занятія нужны не Богъ-знаетъ какія знанія и капиталы? Петрову казалось, что нѣмцу или вообще иностранцу даютъ болѣе ходу и вѣры; нѣмецъ нѣмца скорѣе вытянетъ изъ бѣды, чѣмъ русскаго, а русскій русскаго, прежде чѣмъ вытянуть изъ бѣды, еще подумаетъ, можно ли, да будетъ ли какая отъ этого ему польза. Нѣмецъ не труситъ, ставитъ послѣднюю копейку ребромъ, и если устраиваетъ какой магазинъ, то на хорошемъ мѣстѣ, одѣвается по-заграничному, говоритъ умѣетъ по-французски, умѣетъ поддѣлаться къ господамъ, которые больше льнутъ къ заграничному, думая, что все заграничное лучше своего, тогда какъ самъ нѣмецъ и понятія, можетъ-быть, о такой-то вещи не имѣетъ и дѣлаютъ такую то вещь русскіе рабочіе. Стало быть, тутъ виноватъ самъ же рабочій, свободно отдающій себя въ кабалу, и неумѣнье его взяться за дѣло, какъ слѣдуетъ, трусость его и простота, и главное — неумѣнье беречь деньги на черный день. Нѣмецъ деньги свои употребляетъ на матеріалъ или товаръ, а русскій—на водку и другія удовольствія, отчего впадаетъ въ долги и кончаетъ тѣмъ, что, пропивая вещи, теряетъ черезъ это работу или, какъ выражаются портные, давальцевъ. Но что же бы сдѣлалъ самъ Игнатій Прокофьичъ, если бы онъ захотѣлъ заняться чѣмъ-нибудь? Теперь нѣмцевъ въ Петербургѣ очень много; почти всѣ ремесла въ рукахъ нѣмцевъ и французовъ, такъ что многимъ даже нѣмцамъ и французамъ приходится съ трудомъ зарабатывать себѣ пищу и деньги за квартиру. Стало быть, ему очень трудно будетъ найти заказовъ, и онъ только понапрасну затратитъ деньги и насмѣшитъ людей. Но однако... Нѣмцы, какъ бы имъ ни было трудно, не ѣдутъ же изъ Петербурга... А если и есть такіе, что ѣдутъ въ провинцію, такъ это или аферисты, или такіе, которые уже спились въ Петербургѣ. Отчего портные и сапожники, работая въ-одиночку, безъ мальчиковъ или работниковъ, не бросаютъ своего ремесла? Неужели столярное или кузнечное занятіе самое пустое?.. Все это, думалъ Петровъ, потому больше происходитъ, что наша братья привыкла работать на фабрикахъ или заводахъ, гдѣ народу много работаетъ, гдѣ можно меньше сдѣлать, чѣмъ одному дома, и гдѣ плата извѣстная. Тамъ, дома-то сидя, не знаешь еще, будетъ или нѣтъ у тебя работа, а на фабрикѣ или заводѣ проработалъ день, и знаешь, сколько тебѣ слѣдуетъ получить. Ну, и жизнь рабочаго на фабрикѣ или заводѣ такая сложилась, что его тянетъ изъ дому, ему скучно безъ компаніи, а компанія только высасываетъ деньги, и каждый, не желая отстать отъ другихъ, ставитъ послѣднюю копейку ребромъ, не заботясь о томъ, будетъ ли онъ въ состояніи завтра идти на работу.

«Попробую я самъ жить, какъ живутъ нѣмцы»,— рѣшилъ Петровъ, и этой мысли уже никакъ не могъ выкинуть изъ головы. Денегъ у него было очень мало, и онъ остановился на томъ, чтобы поработать на заводѣ недѣли двѣ, жить экономно, въ праздники походить по городу, посмотрѣть какого-нибудь выгоднаго мѣста, чтобы перейти туда, и нанять комнату, въ которой бы можно работать въ свободное время. Онъ рѣшилъ работать дома, что попадется. «Надо будетъ запастись всякими инструментами и для кузнечнаго, и столярнаго дѣла. Въ сундукѣ у меня хотя и есть, только мало. Ну, а бросового желѣза и мѣди можно изъ завода натаскать — на грѣхъ-то тутъ нечего смотрѣть. Нужно непремѣнно съ дворниками и лавочниками познакомиться, да домъ такой выбрать, чтобы въ немъ другихъ мастеровъ не было. И отчего это я раньше не рѣшался?.. Вотъ и Пелагея Прохоровна говорила мнѣ: отчего я самъ собой не работаю, такъ я наговорилъ, какъ и всѣ товарищи. Надо рискнуть».

Хотя Петровъ о своемъ намѣреніи заняться мастерствомъ никому не сказалъ, но товарищи замѣтили, что онъ что-то замышляетъ. Онъ былъ молчаливъ, много работалъ и отвѣчалъ нехотя.

— Смотри, братъ, надорвешься! А нынѣ намъ прибавку обѣщаютъ,—говорили ему на заводѣ товарищи.

— Какую прибавку?

— Скидку по двадцати копеекъ. Полакомься!

— Это почему?

— Ну, ужъ такъ въ конторѣ болтаютъ.

— Надо, братцы, узнать достовѣрно,—сказалъ Петровъ и пошелъ въ контору.

— Говорятъ, намъ убавятъ заработку?—спросилъ онъ конторщика.

— Пошелъ вонъ!—крикнулъ конторщикъ.

— Нѣтъ, однако позвольте... Послѣ мы же будемъ виноваты.

— Не твое дѣло.

Когда онъ воротился на заводъ, то десятникъ, который обозвалъ его калужскимъ азіятомъ, сталъ требовать, чтобы онъ повѣсилъ нумеръ на таблицу. На заводѣ у стѣны около двери висѣла таблица; на этой таблицѣ висѣли жестянки съ нумерами. Взявшій жестянку считался рабочимъ на заводѣ, и его нумеръ десятникъ отмѣчалъ въ своей книжкѣ и на таблицѣ мѣломъ; когда рабочій уходилъ изъ завода домой, то свой нумеръ вѣшалъ на таблицу; поэтому уходящіе обѣдать домой уносили жестянки съ собой для того, чтобы ихъ нумеръ не попалъ другому, отчего десятникъ часто путался въ своемъ счетѣ по книжкѣ.—Петровъ разсердился.

— Съ какой стати я тебѣ жестянку дамъ? Полакомься!—и пошелъ къ горну.

— Ну, мнѣ все равно, я тебя ужъ вычеркнулъ.

Петровъ пошелъ разыскивать мастера Карла Карлыча и нашелъ его сидящимъ на машинѣ и курящимъ сигару. Это былъ толстый, низенькій, обросшій бородою нѣмецъ, котораго рабочіе про-

звали чурбашкомъ. Но онъ былъ добрѣйшее существо.

— Что, каспадинъ Петровъ?

Петровъ разсказалъ въ чемъ дѣло.

— Зачѣмъ обижалъ? Нельзя обижать начальниковъ. Иди, робь.

— Велите ему записать меня снова. Я ходилъ въ контору. Вѣдь вы видѣли меня здѣсь послѣ шабашу.

— А что тебѣ до конторы?

— Да какъ же: болтаютъ, будто намъ сбавка готовится.

Нѣмецъ засмѣялся и сказалъ:

— А если и такъ?

— Вамъ-то ничего, вы по сту двадцати рублей получаете въ мѣсяцъ, вамъ не сбавляютъ. А мы-то чѣмъ виноваты?

— Время идетъ! Робь. А уходить будешь,— расчетъ получишь.

— Вотъ у нихъ, у подлецовъ, какая справедливость! Поневолѣ руки опустятся,—сказалъ Петровъ собравшимся около него рабочимъ, по приходѣ отъ мастера.

— Стóитъ разговаривать съ ними.

— Нѣтъ, ихъ надо допытать. Они, какъ мы станемъ получать деньги, послѣ дѣйствительно дадутъ 20-ю копейками меньше. Не въ первый разъ. Скажутъ, зачѣмъ работали? А это вѣдь и намъ разсчетъ, и имъ разсчетъ. Положите на четыреста человѣкъ по 20-ти коп., сколько составится въ сутки капиталу!..

Вечеромъ въ этотъ день во всѣхъ квартирахъ и кабакахъ только и было разговору, что о смѣлости Петрова и сбавкѣ платы. По этому поводу у Григорья Чубаркова собралось много народу, который водки бралъ мало, что не очень нравилось Чубаркову, и онъ самъ навязывалъ имъ взять въ долгъ.

— Когда не нужно, ты предлагаешь, а послѣ тебѣ и давай деньги при получкѣ, а тутъ толкуютъ, что плату обрѣзываютъ.

— Что же это Петровъ-то нейдетъ? Смутить смутилъ, а потомъ спрятался.

— А Петровъ мастеръ первый сортъ. Жалко, если его уволятъ.

— Ну, уволить, такъ уволили бы сегодня.

А Петровъ разсуждалъ въ своей квартирѣ съ Горшковымъ.

— Гдѣ не слѣдуетъ, тамъ мы бойки. Вотъ и теперь, поди, въ кабакахъ пьянствуютъ и похваляются чѣмъ-нибудь, да свои способности высчитываютъ,—говорилъ Петровъ недовольно.

— Ну, эдакъ, братъ, много не получишь, если будешь мѣнять заводы,—отвѣчалъ Горшковъ.— Вѣдь они, скоты, не дорожатъ нашимъ братомъ.

— И все-таки молчать я никогда не стану. И говорю, что наши рабочіе—дураки, потому что сами потакаютъ.

— Ну, хорошо; ну, если не станутъ всѣ работать, закроютъ заводъ, думаешь? Нѣтъ, новыхъ наберутъ.

— А новые-то и будутъ все портить.

— А мы все-таки будемъ безъ хлѣба... Ужъ я знаю. Разъ тоже мы эдакъ сговорились и стали всѣ требовать разсчета. Разсчетъ обѣщали черезъ день. Мы не пошли, заводъ заперли. А у половины мастеровыхъ денегъ нѣтъ. Кабатчики и лавочники, какъ заслышали, что такой-то заводъ не въ ходу, перестали и въ долгъ вѣрить. На другой день тоже разсчета не даютъ, и тоже никто не хочетъ работать; а голодъ беретъ свое. Хорошо, кто успѣлъ на другой заводъ или фабрику попасть. Такъ вѣдь насъ пятьсотъ человѣкъ съ лишнимъ было: куда ни придешь, вездѣ нумеровъ нѣтъ. Послѣ оказалось, что на сосѣднихъ заводахъ да фабрикахъ, мастера стакнулись между собой: остальныя жестянки попрятали. Ну, на третій день выдаютъ разсчетъ — половину. Вотъ и полакомься! Жалуйтесь, говорятъ. По вашей, говорятъ, милости заводъ двое сутокъ стоялъ, компаніи убытокъ. А въ заводѣ ужъ и новый народъ понабравши. Ну, наши-то почесали затылки и пошли опять въ работу, потому ѣсть было нечего.

— Кабы поменьше пьянствовали, были бы деньги,—сказалъ сердито Петровъ.

— И никогда денегъ не будетъ, если мы такъ будемъ получать. Если бы давали за каждыя сутки, тогда—такъ.

Петровъ на это ничего не сказалъ. По его мнѣнію, такая выдача хороша бы была, еслибы производилась съ самаго основанія заводовъ и еслибы рабочіе не надѣялись на завтрашній день, но такъ какъ въ Петербургѣ за квартиры вездѣ платятъ впередъ и гуртомъ, то Петровъ находилъ болѣе удобнымъ получать плату въ каждую субботу, а не черезъ мѣсяцъ, въ теченіе котораго рабочіе много должаютъ. При такомъ порядкѣ рабочій могъ бы сообразить: слѣдуетъ ли ему еще работать на такомъ-то заводѣ и, уплативъ изъ платы часть долга, могъ бы употребить понедѣльникъ на пріисканіе другого мѣста.

На другой день рабочіе завода, на которомъ работали Петровъ и Горшковъ, собрались передъ конторой и стали требовать объясненія: почему сбавляютъ плату безъ ихъ согласія.

— Кто вамъ сказалъ, что сбавляютъ? плата та же, только требуется сокращеніе рабочихъ.

Рабочіе успокоились и постарались взять поскорѣе жестянки, которыхъ противъ вчерашняго оказалось на таблицѣ меньше. Петрову и еще десятерымъ рабочимъ жестянокъ не досталось.

— Что это значитъ, братцы? Мы когда работали полнымъ комплектомъ и тогда еще болталось жестянокъ двадцать, а сегодня, кажется, человѣкъ двадцати не достаетъ и тутъ на явившихся не хватило?—говорили рабочіе.

— Это штуки! — проговорилъ Петровъ и вышелъ.

Остальныхъ рабочихъ, не получившихъ жестянокъ, потребовали въ контору, и тамъ они получили должное внушеніе и жестянки. Петровъ тоже пошелъ въ контору.

— Позвольте разсчетъ.

— Приходи черезъ двѣ недѣли,—отвѣтили ему спокойно.

— Значитъ, и на работу не принимаютъ, и денегъ не платятъ?

— Если ты хоть еще слово скажешь и не выйдешь сію минуту, тебя въ полицію отправимъ. Бунтовщикъ!

Такъ какъ Петрову знакомы были полицейскіе порядки, то онъ ушелъ домой. Тамъ сосѣдка Соловьева ругалась съ Горшковымъ. Женщины голосили такъ, что разобрать ихъ было довольно трудно. Игнатій Прокофьичъ пошелъ вонъ изъ квартиры.

— Игнатій Прокофьичъ, разбери ты насъ... Вотъ она говоритъ, что я ея мужа рубашку дала на покойника,—проговорила хозяйка, останавливая Петрова.

— Сколько рубашка твоего мужа стоитъ?—спросилъ Петровъ, подойдя къ Соловьевой.

— Да я денегъ и не прошу вовсе.

— Она еще попрекаетъ меня тѣмъ, что я будто бы въ связи съ тобой,—сказала Софья Ѳедосѣевна.

— Если бы она совѣсть имѣла, не говорила бы этого.

И Петровъ ушелъ разсерженный. Онъ всталъ на Самсоніевскомъ мосту, долго смотрѣлъ на плывущій ледъ. Ему уже не въ первый разъ приходилось бывать безъ работы не по своей винѣ. «Пойду на Обводный каналъ, посмотрю тамъ мѣсто, найму комнату и попытаю жить по новому».

Зашелъ онъ въ сухопутный госпиталь. Пелагея Прохоровна значилась въ живыхъ, но его и сегодня къ ней не допустили, а велѣли придти въ воскресенье или вторникъ.

По Обводному каналу, идущему изъ Невы по краямъ Петербурга и впадающему въ проливъ, отдѣляющій Гутуевскій и другіе острова отъ столицы, находится много разныхъ фабрикъ и заводовъ, большихъ и малыхъ. Поэтому набережная этого канала преимущественно населена рабочимъ людомъ, и тамъ болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, кипитъ дѣятельность рабочаго класса. Но попасть въ какую-нибудь фабрику или заводъ не очень легко, даже и хорошему петербургскому мастеровому, не только что какому-нибудь новичку въ фабричномъ или заводскомъ дѣлѣ, потому что всѣ эти фабрики и заводы постоянно имѣютъ своихъ рабочихъ, а нѣкоторые, по большому производству въ нихъ дѣла, имѣютъ даже и постоянныхъ рабочихъ, которые, работая на однихъ заводахъ, постоянно лѣтъ пять живутъ въ однихъ домахъ, мѣняютъ рѣдко кабаки и мало знакомятся съ рабочими другихъ заводовъ и фабрикъ.

У Петрова были знакомые почти на каждой фабрикѣ и заводѣ, и онъ зналъ, на которой изъ нихъ лучше; но со своими знакомыми онъ видался только на народныхъ гуляньяхъ, на Адмиралтейской площади въ Пасху и въ масленицу. Въ теченіе пяти послѣднихъ лѣтъ онъ слышалъ отъ нихъ, что во всемъ Петербургѣ самый хорошій заработокъ въ трехъ мѣстахъ, прилегающихъ къ Обводному каналу

Зашелъ Петровъ на одинъ заводъ, и его на первыхъ же порахъ поразила темнота. Съ виду зданія громадныя, чуть не дворцы, а внутри темно, душно — точно тутъ вываривается какое-нибудь масло. Это на него произвело тяжелое впечатлѣніе. Онъ прошелся по промежутку, по обѣимъ сторонамъ котораго работали мастеровые, и чѣмъ шелъ дальше, тѣмъ воздухъ былъ удушливѣе, и рабочіе казались ему похожими на мертвецовъ. Всѣ рабочіе смотрѣли на него съ любопытствомъ, но ни одинъ не спросилъ, кто онъ и зачѣмъ пришелъ. Мастеровъ онъ не увидалъ ни одного. Работа продолжалась какъ на машинѣ, да и люди походили скорѣе на куколъ, двигаемыхъ машинами.

— Братцы, не знаете ли вы Демьянова Егора?—спросилъ Петровъ одну кучу рабочихъ.

Рабочіе стали спрашивать другъ друга. Это переспрашиваніе перешло по всему отдѣленію.

— По какой онъ работѣ?—спросили Петрова.

— По рельсовой.

— Это не у насъ.

— Что же у васъ-то?

— Колеса, крючья, цѣпи... Мало ли? Здѣсь кузница; дальше будетъ формировочная, потомъ казенная...

— А много ли вы получаете?

— Мы казенные и цѣна у насъ казенная. У насъ по комплекту. Такъ что ежели у кого есть дѣти—дѣти должны сюда поступать.

— А если кто со стороны желаетъ поступить?

— Нужно свидѣтельство на то, гдѣ онъ обученъ. Потомъ у него возьмутъ согласіе работать на столько-то лѣтъ.

— И вамъ это нравится?

— Ошиблись въ разсчетахъ... Хотимъ просить вольготы. А, впрочемъ, говорятъ, новое начальство будетъ: обѣщаютъ другіе порядки.

Пошелъ онъ къ водочному заводу. Тамъ не работали: что-то попортилось. Идя мимо него, Петровъ встрѣчался съ рабочими или стоящими у перилъ набережной, или сидящими передъ воротами.

— Что это заводъ-то вашъ оплошалъ?—спросилъ онъ одну кучку.

— А чтобъ ему сдохнуть!.. толкуютъ, хозяинъ подъ судъ попался, да и попортилось что-то.

— Да вѣдь если подъ судъ попался, такъ надо бы больше зарабатывать. Не такъ ли, братцы?

— Такъ-то, такъ, да управленье-то дурацкое. Управляющій, говорятъ, сбѣжалъ въ другое мѣсто и отчеты сжегъ.

— Ну, это другое дѣло... А вы все-таки ждете у моря погоды?

— Что дѣлать? Надо. Мы не привыкли къ другому дѣлу, тутъ у насъ семейства на квартирахъ.

— Что про это говорить. А васъ много?

— Да до тысячи слишкомъ наберется.

На заводѣ главнаго общества желѣзныхъ дорогъ впечатлѣніе было лучше.

— У насъ тѣмъ хорошо, что свой судъ. Кто если станетъ жаловаться полиціи, того вонъ. Плату даютъ исправно, въ какое время скажутъ, безъ задержки. Если не придешь, самъ виноватъ, потому у насъ полторы тысячи рабочихъ. У насъ принимаютъ всякихъ, такъ что есть солдаты, ко-

торые умѣютъ только музыкантить, а кузнечнаго ремесла не понимаютъ, и тѣ получаютъ по 50 к. въ сутки. Ну, это конечно зависитъ отъ насъ. А вотъ насчетъ занятій у насъ обрѣзываютъ.

— По заграничному?

— А ужъ кто его знаетъ. У насъ разсчитано, сколько къ какому дѣлу нужно мастеровыхъ и сколько поэтому должно выйти въ сутки. У нихъ такимъ порядкомъ разсчитано, сколько обществу стоитъ каждый рабочій день, и идетъ все какъ по маслу—ни прибавки, ни убавки. Только вотъ тѣмъ мастеровымъ-то убыточно, кои работаютъ со штуки. Напримѣръ, мнѣ въ сутки положено 1 руб. 20 коп., больше я получить не могу, это высшая плата, потому что у насъ десятники получаютъ по 1 руб. 40 коп. въ сутки, а поэтому если я починю пять колесъ въ сутки, то кладется въ счетъ только два колеса, а за остальныя мнѣ ничего не платятъ.

— Зачѣмъ же усердствовать-то?

— А если дѣлать нечего? Да для меня плевое дѣло—исправить колесо или новое сдѣлать; извѣстно, одно колесо въ десяти рукахъ перебываетъ, а только къ одному попадаетъ на штуку. А если сидишь безъ дѣла, ругаютъ. Уйти нельзя, денегъ не дадутъ за цѣлый день.

Петровъ зашелъ къ одному мастеровому, недалеко отъ варшавской желѣзной дороги. Пріятель его былъ дома и чинилъ замокъ, а мать пріятеля гладила манишку.

— У насъ здѣсь по-заграничному: если на работу не пришелъ, представь свидѣтельство отъ доктора, коихъ у насъ трое, ну, и примутъ; если обругалъ мастера, потащатъ судить въ правленіе и потомъ разсчитаютъ; если работа случится ночью, плату увеличиваютъ. Ну, и начальство любитъ, чтобы его уважали.

— Ну а какъ же ты дома-то работаешь?—спросилъ Петровъ пріятеля.

— Да такъ: захворалъ. Животъ такъ и тянетъ. Выпилъ перцовки—не легчаетъ. Сходилъ къ нашему доктору, тотъ какого-то лекарства прописалъ, и все нѣтъ легче. Вотъ я и принялся дома за замокъ, ужъ недѣли двѣ какъ взялъ, кончить надо. Ну, а ты какъ? Вѣдь у васъ тамъ лучше нашего.

Петровъ разсказалъ пріятелю о своемъ намѣреніи.

— Оно пожалуй отчего не попробовать, если есть деньги. А все-таки у васъ лучше нашего тѣмъ, что платятъ хорошо. У насъ хоть и легче работа, оной разъ и дѣлать нечего, а уйти нельзя, потому что ужъ больше тридцати пяти рублей не получишь въ мѣсяцъ.

Отъ пріятеля зашелъ Петровъ къ одному лавочнику Телятникову. Телятниковъ годовъ шесть тому назадъ жилъ подручнымъ у лавочника и, женившись на его сестрѣ, открылъ на набережной Обводнаго канала свою лавочку. Онъ разсчитывалъ на рабочій народъ, котораго тутъ живетъ много, но сталъ продавать дороже другихъ лавочниковъ и не вѣрилъ на книжки, отчего у него торговля шла тихо. Кромѣ этого, нѣкоторыхъ вещей онъ не держалъ вовсе въ лавкѣ. Лавка его хотя и была первая въ шестомъ домѣ отъ угла Измайловскаго проспекта и другія мелочныя лавочки находились отъ его лавки къ Царскосельскому проспекту черезъ три дома, но народъ шелъ за провизіей въ эти лавки. И Телятниковъ перебивался кое-какъ, продавая вещи жильцамъ того дома, въ которомъ онъ снималъ лавку, служащимъ на варшавской желѣзной дорогѣ, извозчикамъ, возящимъ грязь и другія нечистоты и живущимъ черезъ домъ отъ его лавки въ какомъ-то пустомъ амбарѣ, и лѣтомъ судорабочимъ. Поэтому Телятниковъ сталъ продавать дешевле и отпускалъ въ долгъ, но и тутъ покупателей мало, потому что всѣ привыкли покупать въ одномъ мѣстѣ, и къ нему шли брать только такіе, которымъ не вѣрили въ другихъ лавочкахъ.

— Ну, какъ дѣла, Герасимъ Трифонычъ? Больше году, какъ ужъ вы здѣсь живете,—спросилъ Телятникова Петровъ.

— Просто хоть лавку запирай. На два рубля въ сутки торгую.

— Что такъ плохо? Вы говорили, что здѣсь вамъ отлично будетъ торговать, потому что лавочниковъ мало, Сѣнная далеко, а народу живетъ много такого, которому некогда разбирать, гдѣ товаръ лучше.

— Да здѣсь такой, я тѣ скажу, народецъ—бѣда! Вотъ напримѣръ варшавскіе: взялъ разъ, не понравилось—и ни за что ты его въ лавку не заманишь. Мало этого, своимъ товарищамъ скажетъ, какой у меня хлѣбъ, и тому подобное. А мастеровые такой народъ воровской, что и говорить нечего: онъ все норовитъ, какъ бы ему въ долгъ. Наберетъ много, видитъ, что денегъ нѣтъ, и пойдетъ забирать въ другія лавочки; такъ за нимъ и пропадутъ деньги,—бѣда! Теперь вотъ за помѣщеніе я плачу въ годъ четыреста пятьдесятъ рублей серебромъ,—а что? Лавка маленькая, когда идетъ дождь, вода въ нее льетъ, а весной наказаніе съ этой водой.

— Отчего жъ другіе торгуютъ и не жалуются.

— Оттого, что они давно тутъ торгуютъ и про меня всякую всячину насказываютъ своимъ покупателямъ. Надо будетъ въ другое мѣсто перебраться, только еще не знаю, куда?

Навстрѣчу Петрову попался Потемкинъ. Онъ былъ одѣтъ франтовски, на жилеткѣ красовалась цѣпочка.

— Который часъ на твоихъ колесахъ, Захаръ Константинычъ?—спросилъ Петровъ Потемкина.

— Всѣ!—и Потемкинъ дернулъ цѣпочку, которая оказалась безъ часовъ.—Собираюсь къ полковницѣ, надо еще малую толику взять денегъ. Вотъ я и выдумалъ цѣпочку. А дастъ, я знаю.

— Поладили, значитъ?

— Еще бы. Только ужъ я къ ней, когда нужно, буду ходить. Она, вишь ты, пригласила меня за тѣмъ, что мужъ ей написалъ, что ѣдетъ въ Петербургъ по дѣламъ и хочетъ ее требовать къ себѣ. Ну, она мнѣ и говоритъ: ты, говоритъ, Захаръ Константинычъ, поживи у меня это время. Какъ мужъ пріѣдетъ, я скажу ему, что съ нимъ не же-

лаю жить, а желаю развода, чтобы съ тобой обвѣнчаться.

— Ишь ты, братецъ, какія у васъ дѣла! Ну, что жъ ты не хочешь на ней жениться?

— Избави Богъ! Она барыня, а я мужикъ. Да я и не намѣренъ жениться: что мнѣ чужую-то жизнь заѣдать?

— Неужли у ней получше нашего брата нѣту людей?

— Кто ее знаетъ? Ей, должно быть, потому хочется за меня, что у нея есть дѣвочка; третій годокъ ей идетъ. И говоритъ она: какъ только выйдетъ за меня, то продастъ имѣнье въ Польшѣ— еще есть десятинъ триста,—и откроетъ здѣсь магазинъ и читальню для рабочихъ: просвѣщать, слышь ты, насъ хочетъ. И жалко мнѣ ее, да не нравится она мнѣ и отъ теперешней жизни отстать не хочется.

— По-моему, нехорошо отъ нея вытягивать деньги.

— И я это знаю. Все, что ни говорю товарищамъ о себѣ,—хвастовство одно; а стань хвалиться, что поступаешь честнымъ манеромъ, — смѣяться станутъ. Вотъ и про часы я тебѣ сказалъ тоже неправду. Она мнѣ подарила часы, я ихъ спряталъ въ сундучкѣ и даже въ кабакъ не закладываю.

— Вѣдь ты ее любишь?

— Иногда жалко мнѣ ее, такъ вотъ тебя и тянетъ. А пойдешь—назадъ тянетъ. Придешь къ ней, скучно, да и она ужъ не такая веселая, какъ прежде — все укоряетъ. Вотъ только у пьянаго и смѣлость явится — такъ рѣдко пускаетъ пьянаго! А ужъ жениться я не могу на ней и подавно. Женишься, она и возьметъ тебя въ руки; станетъ грызть. Я было думалъ, въ такомъ случаѣ, если бы напала дурь въ самомъ дѣлѣ жениться на ней, открыть какую-нибудь кузницу, али мастерскую, потому я это дѣло хорошо смыслю, дакъ вѣдь я слабъ. Вотъ и теперь недѣлю не пьешь, а какъ запьешь, дакъ все къ чорту. Что про это говорить!.. Прощай.

И Потемкинъ пошелъ.

Четыре дня Игнатій Прокофьичъ высматривалъ себѣ мѣсто и квартиру, и вездѣ ничего не оказывалось. Никто не хвалился своимъ житьемъ, всѣ сѣтовали на дороговизну, грубое обращеніе мастеровъ и хозяевъ, слабое здоровье, и Петровъ былъ въ затрудненіи насчетъ мѣста. Но ему уже не хотѣлось измѣнить своего желанія, и онъ искалъ.

XXXVIII.

Петровъ ходилъ до сихъ поръ по краямъ; теперь онъ пошелъ внутрь Петербурга. Но тутъ проходилъ онъ понапрасну два дня. Наконецъ зашелъ въ одну изъ мастерскихъ на Итальянской улицѣ, съ хозяиномъ которой онъ восемь лѣтъ тому назадъ работалъ вмѣстѣ на одномъ заводѣ. Этотъ господинъ тогда женился на нѣмкѣ и открылъ мастерскую. Въ теченіе шести лѣтъ они видались въ Пасху и въ масленицу на гуляньяхъ, а потомъ Петровъ такъ и не слыхалъ о хозяинѣ съ Итальянской.

Надъ воротами большого четырехъ-этажнаго дома была прибита вывѣска, которая свидѣтельствовала изображеніемъ самовара, кастрюль и крановъ, что тутъ мастерская, въ которой лудятъ и чинятъ мѣдную посуду. Былъ полдень, когда Петровъ подошелъ къ этому дому. У воротъ стояло двое молодыхъ мастеровыхъ въ своемъ нарядѣ: рубахѣ, брюкахъ, которыя покрывалъ засаленный передникъ, съ ремешкомъ на лбу и въ калошахъ на босую ногу. Петровъ давно уже не видалъ мастеровыхъ у домовъ въ такомъ видѣ: рабочіе по краямъ города въ такомъ видѣ находятся только при дѣлѣ, изъ фабрикъ или заводовъ на улицу не выбѣгаютъ, а когда идутъ домой, то накидываютъ халатъ или зипунъ, или полушубокъ и на ногахъ носятъ сапоги, а ремни рѣдкіе носятъ и у дѣла.

— Вы не изъ мастерской ли Платонова?—спросилъ мастеровыхъ Петровъ.

— Какого Платонова?—спросилъ въ свою очередь одинъ изъ мастеровыхъ и лукаво взглянулъ на товарища.

— Исая Павлыча.

— Тутъ нѣтъ такихъ. Ищи въ другомъ мѣстѣ,— проговорилъ съ усмѣшкой другой мастеровой.

Петровъ вошелъ во дворъ. Задняя сторона дома имѣла только два этажа. Надъ дверями внизу была прибита вывѣска мастерской. «Таковъ ужъ характеръ у мастеровыхъ, чтобы не отвѣчать сразу», подумалъ Петровъ и вошелъ въ мастерскую. Это была большая, темная комната о трехъ окнахъ съ тусклыми стеклами въ рамахъ. По правую сторону мастерской помѣщалась печь и мѣха для раздуванья; между печью и дверями за перегородкой лежалъ каменный уголь и какіе-то желѣзные куски, налѣво были сдѣланы сидѣнья для рабочихъ и верстаки; инструменты были разбросаны, уголья и зола въ печи холодные. Во всей мастерской работалъ только одинъ мальчикъ, сидя у окна.

— Что у васъ за праздникъ?—спросилъ Петровъ мальчика.

Но тотъ не отвѣчалъ, только косо посмотрѣлъ на посѣтителя.

— Тебѣ кого?—спросилъ онъ Петрова.

— Хозяина.

— У насъ нѣтъ хозяина, а хозяйка уѣхала въ Кронштадтъ.

Оказалось, что самъ Платоновъ лежитъ уже въ землѣ полтора года и мастерскою заправляетъ его жена. При жизни Платонова въ мастерской работало двѣнадцать мальчиковъ и двое мастеровыхъ, подъ присмотромъ самого хозяина. Заказовъ было много и рабочимъ хорошо было жить, потому что хозяинъ былъ смирный, никого не обижалъ и помощникамъ потачки не давалъ. Послѣ его смерти вдова предоставила все дѣло двумъ помощникамъ, которые другъ съ другомъ ссорились изъ-за того, что каждому хотѣлось быть первымъ: мальчики ихъ не слушались, ихъ стали увольнять и на мѣсто ихъ принимали всякій сбродъ. Поэтому хозяйка рѣшилась отказать помощникамъ и поѣхала въ Кронштадтъ къ брату, чтобы взять у него хорошаго ма-

стера изъ нѣмцевъ. Теперь у хозяйки жилъ только одинъ мальчикъ.

— А кто ея братъ?

Мальчикъ сказалъ.

— Да я съ нимъ вмѣстѣ въ обученіи былъ; потомъ онъ на Средней Мѣщанской кузницу держалъ. Я его знаю, толстопузаго нѣмца.

Петровъ отправился въ Кронштадтъ, разыскалъ Шварца.

— Здравствуйте, Иванъ Иванычъ!

Тотъ сталъ смотрѣть на Петрова.

— Кто ти! Какъ смѣль ходить по чужимъ мастерскимъ?

— Забыли Игнатья Прокофьева?

Нѣмецъ просіялъ, сталъ тереть руки, потрепалъ Петрова нѣсколько разъ по спинѣ и звалъ въ комнату, но онъ отказался.

— Я вѣдь сюда не надолго, по дѣлу; да и сообщеніе-то не совсѣмъ удобное. А вотъ пойдемъ выпьемъ пива.

За пивомъ Петровъ сообщилъ Шварцу, зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Кронштадтъ.

— Она еще здѣсь. Она проситъ мастеровъ. А я совѣтую бросить; гдѣ ей возиться! Она не Шварцъ и не Платоновъ.

— Зачѣмъ же ей бросать, если она не одинъ годъ живетъ на одномъ мѣстѣ?

— Да, мѣсто много значитъ. Я въ Средней Мѣщанской семь лѣтъ выжилъ. Первые два года было о-о какъ трудно, а потомъ ничего. И теперь бы жилъ тамъ, да стали перестроивать домъ.

— И ей достаточно было бы одного мастера, который бы смотрѣлъ за всѣмъ.

— И достаточно, только надо нѣмца. Нѣмца лучше слушаются, чѣмъ русскаго.

— Однако вѣдь мужъ-то у нея былъ же русскій.

— О! Онъ хорошо говорилъ по-нѣмецки... Однако я скажу Терезѣ, пусть она на первое время тебя возьметъ, а тамъ увидимъ. Я знаю, ты человѣкъ хорошій... Шнапса много пьешь?

— Случается, но больше пиво употребляемъ.

— Ну, это хорошо. Шнапсъ надо помаленьку.

Шварцъ представилъ Петрова вдовѣ. Платонова сказала, что она его гдѣ-то видала, и они тутъ же уговорились насчетъ мастерской. Петровъ выговорилъ себѣ жалованья тридцать пять рублей въ мѣсяцъ съ тѣмъ, что будетъ имѣть квартиру и столъ отдѣльно отъ мастерской. Онъ обязался найти мальчиковъ и улучшить мастерскую.

Комнату Петровъ нанялъ въ другомъ домѣ, напротивъ того, въ которомъ помѣщалась мастерская Платоновой. Она находилась въ четвертомъ этажѣ, въ квартирѣ, набитой вдовами-чиновницами, кандидатомъ на коллежскаго регистратора, какимъ-то чиновникомъ и рѣзчикомъ-художникомъ. Всѣ эти господа и госпожи перебивались кое-какъ, кое-что дѣлая, жили по два и по три въ комнатѣ, которыя отдавались въ наемъ отъ квартирной хозяйки не дешевле пяти рублей въ мѣсяцъ. Петровъ заплатилъ пять рублей, но эта хотя была и узенькая комната, за то свѣтлая. Хозяйка, какая-то штабсъ-капитанша, держала эту квартиру уже много лѣтъ, и поэтому въ комнатѣ Петрова, тотчасъ по отдачѣ имъ задаточныхъ денегъ, появилось два стула, кровать и столъ.

— Вотъ что, хозяюшка, могу я въ квартирѣ своимъ мастерствомъ заниматься?

— Какое же у васъ мастерство?

— Я столяръ и кузнецъ.

— О, Боже избави!.. Ты, батюшка, у меня всѣ стѣны испакостишь, да и дворникъ этого не позволитъ. Здѣсь господа живутъ.

За стѣной рѣзчикъ что-то стучалъ.

— Но вотъ тоже работаетъ тамъ кто-то.

— То художникъ. Онъ топоромъ не рубитъ, досокъ не таскаетъ.

— И я топоромъ не рублю. А вотъ если замокъ исправить—это мое дѣло; также комодъ склеить, покрасить.

— Въ самомъ дѣлѣ! Ужъ ты, батюшко, исправь мнѣ дверь на крыльцѣ. Вотъ ужъ сколько времени прошу управляющаго сдѣлать замокъ и дверь исправить: успѣется, говоритъ. И такъ къ ночи-то бичевкой заматываемъ... И кровать починить умѣешь?

— Все, что угодно... У васъ, поди, много ломки-то?

— И не говори .. Ужъ ты только мнѣ-то справь, а работы въ дому найдется много.

— Хорошо. Въ воскресенье я осмотрю и примусь.

Итакъ, квартиру себѣ Петровъ нашелъ. Но труднѣе всего было устроить мастерскую, съ которой онъ провозился двѣ недѣли, пока не поставилъ, какъ слѣдуетъ. Въ приведеніи ея въ порядокъ встрѣтилось два препятствія: первое, наискосокъ открывалась другая мастерская, и второе, трудно было найти мальчиковъ, а мастеровыхъ нанимать невыгодно, такъ какъ они просили не меньше рубля въ день. Недѣля прошла въ напрасныхъ поискахъ, между тѣмъ новая мастерская уже начала исполнять заказы; хозяйка все это приписывала неумѣнью Петрова взяться за дѣло.

— Будемъ-ко съ однимъ мальчикомъ работать, а работу я найду.

— Мнѣ невыгодно: мы выработаемъ, можетъ-быть, въ сутки только рубль, тогда какъ мнѣ все содержаніе мастерской обходится два съ половиной въ сутки,—отвѣчала она.

Но на другую недѣлю въ мастерскую пришли двое мальчиковъ по тринадцатому и пятнадцатому году. Они прежде работали у Платонова и согласились за шесть рублей остаться у жены его съ тѣмъ, чтобы она ихъ кормила и давала квартиру.

Петровъ познакомился съ дворниками того дома, въ которомъ жилъ, сказалъ имъ, что мастерская идетъ на славу, и просилъ отдавать вещи въ починку Платоновой. Дворники обѣщали, что если онъ, новый мастеръ, будетъ давать на водку, то они найдутъ много работы. И дѣйствительно, съ другого же дня стали приносить въ починку разныя вещи и заказывали дѣлать новыя, такъ что всѣ мальчики и Петровъ были заняты.

Мало-по-малу мастерская поправилась: стали проситься въ нее мальчики, стало больше работы. Кромѣ ломанной посуды и другихъ вещей изъ желѣза, олова и мѣди, Платонова заключила съ од-

нимъ купцомъ условіе на поставку цѣпей, стальныхъ замковъ, шалнеровъ и т. п., тогда прихватила еще шестерыхъ мальчиковъ и Петровъ повеселѣлъ.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ онъ перезнакомился чуть не со всѣми жильцами того дома, въ которомъ жилъ, и къ концу второго мѣсяца у него было такъ много работы, что онъ не зналъ, что съ ней дѣлать. Замки, ключи и т. п. мелкія вещи онъ отдавалъ на праздники мальчикамъ мастерской, но у него были такія вещи, возиться съ которыми приходилось двое, трое сутокъ, тогда какъ у него одинъ только въ недѣлю свободный день—воскресенье. Этого добиться ему хотѣлось давно; ему не хотѣлось работать въ мастерской, потому что тамъ онъ работалъ все-таки въ удушливомъ воздухѣ, долженъ былъ за все отвѣчать передъ хозяйкой, а мальчики не всегда-то слушались его. «А если я буду работать дома, то я спокоенъ», сказалъ онъ себѣ и пошелъ къ Горшкову, которому предложилъ свое мѣсто. Тотъ согласился съ удовольствіемъ.

— Ахъ, ты меня надулъ!—сказала вдова Платонова, когда Петровъ потребовалъ отъ нея разсчета.

— Иванъ Иванычъ мнѣ говорилъ, что вы возьмете меня на время, и я сдѣлалъ все, что смогъ. И мой пріятель тоже не уронитъ вашу мастерскую. Я за него отвѣчаю.

— А я много-много на тебя надѣялась,—проговорила Платонова, вздыхая.

«Ну, матушка, покорно благодарю! У тебя никакъ четверо дѣтей», подумалъ на это Петровъ и ушелъ во второй сухопутный госпиталь.

XXXIX.

Петровъ сперва посѣщалъ Пелагею Прохоровну по воскресеньямъ; но не каждое воскресенье, а мимоходомъ, когда посѣщалъ Петербургскую и Выборгскую стороны. Онъ Пелагею Прохоровну зналъ очень мало и поэтому относился къ ней, какъ ближній къ ближнему и какъ честный человѣкъ; въ его характерѣ было, что если онъ взялся за какое-нибудь дѣло, то долженъ его докончить. Онъ никому не хвастался, что у него есть знакомая женщина, къ которой онъ ходитъ въ клинику, но втайнѣ желалъ, чтобы эта женщина выздоровѣла, и думалъ объ ней много. Онъ разбиралъ всѣ свои отношенія къ Пелагеѣ Прохоровнѣ; отношенія эти были честныя. Теперь дѣла его стали поправляться; онъ жилъ въ своей квартирѣ, и вотъ ему больше, чѣмъ прежде, захотѣлось жить семейно, и выборъ палъ на Пелагею Прохоровну, къ которой его тянуло такъ, что въ послѣднее время онъ сталъ уже ходить къ ней и по четвергамъ. Ему тамъ было и грустно, и хорошо: грустно потому, что на него больные производили тяжелое впечатлѣніе, а хорошо потому, что онъ разговаривалъ съ Пелагеей Прохоровной, которая съ каждымъ днемъ поправлялась. Но и тутъ отношенія Петрова къ Пелагеѣ Прохоровнѣ были прежнія—они были знакомы, и больше ничего.

Но Петровъ жилъ все-таки въ мірѣ здоровомъ; онъ могъ дѣлать, что хотѣлъ, могъ идти, куда угодно, а Пелагея Прохоровна жила среди больныхъ женщинъ, и ей запрещено было выходить даже въ коридоръ. Поэтому немудрено, что жизнь въ госпиталѣ ей надоѣла, и она съ нетерпѣніемъ ждала четверга и воскресенья,—дни, въ которые къ больнымъ приходили люди здоровые. Этимъ посѣтителямъ всѣ были рады. Но больше всего Пелагеѣ Прохоровнѣ нравились посѣщенія Петрова.

Пелагея Прохоровна лежала въ серединѣ: ея кровать была шестая отъ двери. Когда пришелъ Игнатій Прокофьичъ, она, сидя на кровати, разговаривала съ сосѣдней женщиной. Прочія женщины или лежали, или сидѣли; двѣ ходили съ кружками, а четыре играли въ карты. Сидѣлка, Марья Ильинишна, толстая женщина, откормившаяся въ госпиталѣ, сидя у окна, что-то шила и напѣвала пѣсенки. Посѣтителей въ этой палатѣ еще не было. Больныя, при видѣ Петрова, оживились; женщина, разговаривавшая съ Пелагеей Прохоровной, ушла къ играющимъ.

— Ну, Пелагея Прохоровна, — сказалъ Петровъ:—я порѣшилъ съ мастерской. Хочу самъ работать. Помните разговоръ-то нашъ за воротами Филимоновскаго дома. Я тогда думалъ, что нельзя работать одному, а теперь вотъ вышло, что можно!

— А я потому говорила такъ, что у насъ есть мастера, кои сами работаютъ и живутъ хорошо.— И она разсказала про Короваева.

— Ну, а Короваевъ еще много пробьется въ Петербургѣ, прежде чѣмъ возьмется за свое ремесло. Онъ хорошъ въ своемъ заводѣ былъ, потому что тамъ выросъ, тамъ его всѣ знаютъ; а поди онъ въ городъ, такъ тамъ своихъ мастеровъ много.

— А я хочу выписаться.

— Ну, я бы не совѣтывалъ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не поправитесь. Вѣдь вы еще не въ силахъ работать?

— Можетъ-быть, и справлюсь.

— Нѣтъ, ужъ лучше недѣльку, другую побудь здѣсь: здѣсь и тепло, и кормятъ, и за квартиру не берутъ... А вотъ что, Пелагея Прохоровна, чѣмъ ты заниматься теперь будешь?

— Вотъ тутъ есть Софья Максимовна; она прачка, такъ совѣтуетъ стиркой заняться, и хозяйку свою мнѣ хвалитъ.

— Ну, жить-то у хозяекъ я бы не совѣтовалъ, потому что хозяйки вездѣ одинаковы: всѣ онѣ налегаютъ на работницъ и кормятъ плохо. А я вотъ что придумалъ: нашъ домъ большой; въ немъ, кажется, квартиръ сорокъ, а прачки нѣтъ. Стоитъ только сказать дворникамъ.

— Ахъ, какъ бы это хорошо было!

— Только нужно поправиться. Ну, а квартиру мы сыщемъ.

Скоро послѣ этого Петровъ ушелъ. Ему захотѣлось устроить Пелагею Прохоровну поскорѣе, и онъ сталъ искать ей комнату въ домѣ, но удобной для прачешной не оказалось, а была квартира въ пятомъ этажѣ и въ ней три комнаты. Но безъ согласія Пелагеи Прохоровны онъ не рѣшился нанять ее.

— Нѣтъ, ужъ я непремѣнно выпишусь. Кромѣ

скуки, еще то непріятно, что сосѣдки упрекаютъ меня тобой, Игнатій Прокофьичъ: говорятъ, что я любовница,—сказала Пелагея Прохоровна Петрову въ слѣдующее воскресенье.

— На это не стоитъ обращать вниманія. Я вотъ и самъ подумываю, какъ бы тебѣ выйти, только не знаю, согласишься ли ты... Видишь ли, для того чтобы заняться стиркой, нужно имѣть непремѣнно свою квартиру. У насъ въ домѣ есть такая квартира—въ ней тоже жила прачка. Самъ я живу въ отдѣльной комнатѣ, и мнѣ бы эта квартира была хороша.

Петровъ замолчалъ. Пелагея Прохоровна тоже задумалась. Ей казалось неудобно жить въ одной квартирѣ съ холостымъ мужчиной, тѣмъ болѣе, что про нее станутъ говорить, Богъ знаетъ что, и черезъ эти пересуды она пожалуй не много будетъ имѣть работы.

— Ужъ я думалъ объ этомъ дѣлѣ. Если теперь нанять комнату гдѣ-нибудь во флигелѣ, то въ комнатѣ стирать бѣлье не дозволятъ; а если и будетъ можно, то вѣдь каковы сосѣди: бѣлье чужое—его нужно беречь и на сосѣдей полагаться нечего. А у насъ въ домѣ и вѣшать бѣлье есть гдѣ.

— Неловко намъ вмѣстѣ-то жить,—сказала Пелагея Прохоровна.

— Что за неловко! Пусть люди говорятъ, что хотятъ, а мы будемъ каждый при своемъ мѣстѣ. Говорятъ тѣ, кои сами себя дурно ведутъ. Живутъ же баре съ любовницами, да ничего имъ не дѣлается, а еще любовницъ уважаютъ.

Пелагея Прохоровна согласилась, и черезъ день послѣ этого Петровъ привезъ ее на новую квартиру. Себѣ онъ выбралъ свѣтлую большую комнату. Пелагеѣ Прохоровнѣ предоставилъ кухню съ небольшой комнатой, которая находилась отъ комнаты Петрова на противоположной сторонѣ. Пелагея Прохоровна нашла въ квартирѣ все нужное для стирки бѣлья и сверхъ того кровать, два стула и столъ.

— Сколько же ты съ меня за комнату возьмешь?—спросила Пелагея Прохоровна, оглядѣвши свою квартиру.

— А это будетъ зависѣть отъ того, какъ пойдетъ дѣло.

— Ну, я такъ не хочу. У меня есть два рубля денегъ.

— Только-то... Да ихъ пожалуй не хватитъ и на мыло да на крахмалъ.

Петровъ ушелъ и заперъ свою комнату на замокъ.

«Нѣтъ, онъ аккуратный. Онъ не похожъ на другихъ мастеровыхъ. Вотъ такого мужа хорошо бы имѣть... А впрочемъ кто его знаетъ», думала Пелагея Прохоровна по уходѣ Петрова.

Пелагеѣ Прохоровнѣ было скучно одной, но часа черезъ полтора къ ней пришла жена старшаго дворника, Лизавета Ѳедоровна, уже пожилая женщина. Вошедши, дворничиха оглядѣла квартиру, перекрестилась, поклонилась Пелагеѣ Прохоровнѣ и спросила ее:

— А что, ушелъ Игнатій-то Прокофьичъ?

— Ушелъ.

— Эко дѣло... Я хотѣла попросить его шкатулку починить... А вы, я слышала, прачка?

— Здѣсь еще не пробовала.

— Ну, у насъ домъ большой. Главное, нужно хорошо стирать; здѣсь и важные господа есть. А ты приходи къ намъ. Мы хоть и въ подвалѣ живемъ, а все же по-питерски, набаловавши: кофеемъ угощу.

— Покорно благодарю! А я вотъ васъ хочу попросить насчетъ бѣлья-то. Меня вѣдь здѣсь никто не знаетъ. Да вы зашли бы въ комнату-то.

Дворничихѣ, какъ видно, хотѣлось узнать, гдѣ и какъ помѣщается новая прачка, и она пошла за Пелагеей Прохоровной въ ея комнату.

— Отлично ты устроилась... Отлично... Ну, а Прокофьичъ-то особо?

— Отдѣльно. У него комната заперта.

— Экой скопидомъ... Ужъ такого скупого я мало видала. Ну, и рѣшительный, и все знающій... А вы давно знакомы-то?

Это допрашиваніе разсердило Пелагею Прохоровну, но она сдержалась.

— Да мы еще мало знакомы,—отвѣчала она.

— Да ты не бойся... Я звонить не пойду, какъ другія бабы... Я, знаешь, тебѣ совѣтую отъ нашихъ кухарокъ держать себя подальше... Съ горничными еще можно знакомиться, потому онѣ при барыняхъ больше. А что до работы—такъ это пустякъ. Ты, ежели что, прямо ко мнѣ; мнѣ тутъ многіе знакомы, потому мы ужъ тутъ двѣнадцатый годъ живемъ.

И дворничиха начала разсказывать про прежнюю прачку, какъ та таскалась съ молодыми дворниками, переговаривалась въ окно черезъ дворъ съ жильцами-чиновниками.

— Нехорошо. Себя она срамила. Ну, заведи она себѣ кавалера и живи съ нимъ, — тутъ худа нѣтъ. Вонъ у насъ генералъ съ любовницей живетъ, такъ всѣ ее уважаютъ.

— Ну, ужъ вы это, Лизавета Ѳедоровна, напрасно...

— Ну, матушка, не вѣкъ вы такъ съ Прокофьичемъ-то станете жить, а пока у васъ до свадьбы дѣло дойдетъ, до тѣхъ поръ надо держать себя умѣючи и не обращать вниманія на сплетни. А безъ сплетенъ не обойдется, потому народъ здѣсь вольный, самъ живетъ дрянно и объ другихъ думаетъ дрянно.

Дворничиха ушла. Петровъ не приходилъ долго, Пелагеѣ Прохоровнѣ было очень скучно; ей хотѣлось что-нибудь дѣлать, хотѣлось выстирать свое бѣлье, но въ квартирѣ воды не было. Она спустилась къ дворникамъ, тѣ сказали, что воды принесутъ завтра; поднялась она въ свою квартиру и устала.

«Плохой я стала человѣкъ. А можетъ это и съ болѣзни», подумала Пелагея Прохоровна и стала перебирать свое имущество; но черезъ полчаса къ ней пришла женщина.

— Здѣсь прачка живетъ?—спросила она въ кухнѣ.

Пелагея Прохоровна вышла.

— Нашей барынѣ нужно бѣлье стирать; иди, возьми!

Пелагея Прохоровна пошла за кухаркой. Барыня заставила ее ждать себя въ кухнѣ болѣе часу. Кухня была барская, съ водопроводомъ: тамъ былъ

поваръ, приходилъ лакей и горничная. Наконецъ вышла барыня.

— Хорошо стираешь бѣлье?—спросила она Пелагею Прохоровну.

— Прежде стирала—нравилось.

— Мнѣ нужно, чтобы бѣлье было вымыто скоро, выглажено, однимъ словомъ, чтобы было хорошо. Вотъ тебѣ реестръ. Марья!—крикнула барыня и ушла.

Стали провѣрять бѣлье.

— Да, ужъ ты, прачка, и мое кстати выстирай: вѣдь много денегъ-то будешь получать.

— Какъ даромъ?

— Неужели еще съ насъ деньги будешь брать?

— Ну, такъ я не согласна.

— А не согласна, такъ въ другой разъ мы другую прачку найдемъ.

Пелагея Прохоровна подумала и взяла бѣлье отъ прислуги.

— Приходи когда-нибудь—кофеемъ напоимъ. А намъ самимъ возиться съ бѣльемъ некогда: цѣлый день бѣгаешь изъ угла въ уголъ.

Узелъ оказался большой, и Пелагея Прохоровна черезъ великую силу донесла его до своей квартиры. Но она была очень рада, что такъ скоро нашла работу.

Игнатій Прокофьичъ былъ дома.

— Что, ужъ и работа есть?—спросилъ онъ весело.

— Слава Богу. Вотъ, говорятъ, корзинка нужна для бѣлья.

— Корзинка есть—тамъ на чердакѣ. А я что думаю: не лучше ли намъ готовить кушанье дома. Я вотъ сегодня работалъ у одной полковницы—драпировку съ ней дѣлалъ, такъ она меня покормила въ кухнѣ и подлецомъ обозвала.

— За что?

— Такая ужъ барыня. Прежде она помѣщицей была. «Я, говоритъ, Игнатій, прежде по мордамъ била, а теперь нельзя, теперь новые порядки, а все, говоритъ, не могу не обругать человѣка». И обругала, и извинилась. Такъ вотъ теперь я хочу дома обѣдать.

— Ты обо мнѣ-то не заботься.

— Я о себѣ забочусь. Вотъ только я боюсь, чтобы ты не простудилась—холодно стоитъ, а у тебя теплаго ничего нѣтъ.

— О, я привычна къ холоду.

— А ты какъ спать-то будешь ложится, запри дверь на замокъ. Здѣсь надо быть осторожнымъ. А то вотъ я пришелъ,—тебя нѣтъ, а въ кухнѣ какая-то баба въ салопѣ сидитъ; «я, говоритъ, къ Татьянѣ Егоровнѣ пришла».

Петровъ послѣ этого заперся въ своей комнатѣ а Пелагея Прохоровна стала тоже въ своей комнатѣ, разбирать бѣлье.

XL.

Квартира оказалась холодною, почему Петровъ и Пелагея Прохоровна встали рано и въ комнатѣ Пелагеи Прохоровны усѣлись пить чай.

— Въ состояніи ли ты, Пелагея Прохоровна, приняться за работу?—спросилъ Петровъ.

— Кабы не въ состояніи, не взялась. Скучно такъ-то жить.

— Ну, какъ знаешь.

Скоро Петровъ ушелъ на работу, а Пелагея Прохоровна принялась за бѣлье. Она стирала въ корытѣ, уставала и садилась на стулъ. Въ такомъ положеніи ее застала барыня въ лисьемъ салопѣ и башлыкѣ. Эта барыня тоже просила взять бѣлье.

Итакъ, работы прибавилось.

Когда Петровъ пришелъ домой обѣдать, то Пелагея Прохоровна спала; кучи бѣлья лежали на скамейкѣ, въ корытѣ было тоже бѣлье.

«Ну, эдакъ не много наработаешь!» подумалъ Петровъ и полѣзъ въ печь за щами. Стукъ заслонки разбудилъ Пелагею Прохоровну.

— Что это? Я маленько прилегла и заснула. Это я непремѣнно въ больницѣ избаловалась,—проговорила она.

— Пожалуйста, ты хоть дверь-то запирай на замокъ. Боже избави, какъ что-нибудь утащатъ.

Пелагеѣ Прохоровнѣ сдѣлалось стыдно, что она среди дня легла спать; но она еще не могла осилить всей работы: она задыхалась, руки дрожали, ноги подкашивало, и съ ней былъ небольшой жаръ. Петровъ замѣтилъ это, но ничего не сказалъ. Когда онъ пришелъ домой вечеромъ, то засталъ Пелагею Прохоровну работающею, но въ квартирѣ было по прежнему холодно.

— Надо будетъ перемѣнить эту квартиру,—сказалъ онъ.

— По-моему, здѣсь хорошо; мнѣ послѣ обѣда дали еще бѣлья. Спасибо дворничихѣ.

— Я теперь буду дома работать, полковница отпустила.

Стали ужинать.

— Вотъ теперь мы по-семейному зажили,—сказалъ вдругъ Петровъ.

Пелагея Прохоровна ничего не сказала, только ея щеки слегка покраснѣли.

— Одного только недостаетъ...

Пелагея Прохоровна взглянула на Петрова.

— Вотъ что: отчего бы намъ, Пелагея Прохоровна, не обвѣнчаться?—сказалъ Петровъ серьезно.

— Такъ скоро? мы еще мало знаемъ другъ дружку,—отвѣтила Пелагея Прохоровна.

— Положимъ, что такъ; только я думаю, мы хуже не будемъ теперяшнаго.

— Кто знаетъ, Игнатій Прокофьичъ?

— А пошла бы?

— Ну, какой ты разговоръ выдумалъ... Надо ложиться спать, завтра на рѣку надо идти.

— Нѣтъ, однако, пошла бы?

— Ахъ, какой ты!.. Ну, разумѣется, пошла бы.

— Вотъ за это спасибо,—и онъ крѣпко пожалъ ей руку, потомъ долго не спалъ, обдумывая планъ семейной жизни. Сперва онъ удивлялся: какъ это онъ такъ скоро дошелъ до желанія жениться, тогда какъ прежде самъ смѣялся надъ тѣми изъ рабочихъ, которые женились; но потомъ пришелъ къ тому заключенію, что на его мѣстѣ всякій дошелъ бы до этого. Онъ долго разбиралъ, почему именно ему понравилась Пелагея Прохоровна, а не другая

какая-нибудь женщина. Вѣдь онъ въ своей жизни видалъ многихъ женщинъ, и ни объ одной изъ нихъ не думалъ такъ много, ни въ одной не принималъ никакого участія, какъ въ Пелагеѣ Прохоровнѣ. Ему, еще съ самаго появленія въ Филимоновскомъ домѣ этой женщины, хотѣлось поговорить съ ней; ея горе трогало его, и онъ, вовсе еще не имѣя намѣренія жениться, старался помочь ей чѣмъ нибудь. Онъ принялъ участіе въ похоронахъ ея брата, и его невольно тянуло въ госпиталь, гдѣ хорошо казалось сидѣть рядомъ съ Пелагеей Прохоровной на ея койкѣ и гдѣ онъ радовался ея выздоровленію. Часто онъ шелъ въ госпиталь съ тяжестью въ головѣ, сердце его что-то щемило; ему думалось: «а что, если она да опять захворала; пожалуй залечатъ, какъ и того...» Но когда онъ шелъ домой, то въ головѣ тяжести не было, сердце билось радостно. Не будь Пелагеи Прохоровны, онъ пожалуй и теперь терся бы на заводѣ или въ какой-нибудь мастерской, и пожалуй бы не сталъ такъ стараться устроить настоящее свое житье. «Нѣтъ, тутъ что-нибудь да есть; мнѣ она полюбилась, мнѣ эта любовь больше храбрости и силы придала. Ужъ судьба вѣрно такая, чтобы мнѣ быть жепатому, и на ней. Конечно! Съ такой бабой жить можно. Какъ только повѣнчаемся, сейчасъ возьмемъ работницу, а я прихвачу двухъ мальчиковъ и открою свою столярную: теперь у меня знакомыхъ много!»

Утромъ за чаемъ Петровъ сообщилъ объ этомъ Пелагеѣ Прохоровнѣ.

— Если работы много будетъ, я согласна взять помощницу. Только Игнатій Прокофьичъ, не избалуемся ли мы?

— Ну, я съ мальчиками вездѣ хорошъ; а все-таки имъ большой потачки давать не стану, потому что будутъ красть. Нужно за всѣмъ слѣдить самимъ.

— Я думаю, тогда хорошо будетъ намъ обоимъ. Вотъ развѣ кто помретъ изъ насъ?

— Ну, до этого еще далеко. Надо вотъ квартиру посмотрѣть гдѣ-нибудь другую, а въ этой неудобно ни тебѣ, ни мнѣ.

Весь этотъ и слѣдующій за тѣмъ день Петровъ работалъ дома. У Пелагеи Прохоровны было очень много работы, такъ что она не знала, какъ ей справиться. На рѣку за нее ходила дворничиха Лизавета Ѳедоровна. Нечего и говорить про то, что Петровъ нравился Пелагеѣ Прохоровнѣ, и она уже не боялась, какъ прежде, выйти за него замужъ. «По крайней мѣрѣ мужъ у меня будетъ питерскій, а съ Короваемымъ мы бы жили тамъ, да еще какова бы была тамъ жизнь? Здѣсь тѣмъ хорошо, что народу много; тебя только и знаютъ, что жильцы того дома, въ которомъ живешь, да на кого работаешь». Но и тутъ въ голову ея приходила мысль: «какова-то будетъ жизнь въ замужествѣ? Выйдешь замужъ, привяжешь, такъ сказать, себя къ мѣсту, дѣти пожалуй пойдутъ. А какова была прошлая-то жизнь? Если бы не Петровъ, пришлось бы лежать въ могилѣ». И она съ любовью взглядывала въ комнату Петрова, который тамъ работалъ.

«Вотъ теперь мнѣ хорошо. Нашла-таки я себѣ мѣсто хорошее; а какъ замужъ выйду, еще лучше будетъ: сама буду хозяйка, и никто меня ничѣмъ не упрекнетъ. Вотъ бы тогда посмотрѣть на Короваева: все хвастался, что онъ больно много знаетъ, а, поди, онъ Игнатью Прокофьичу и въ подметки не годится», думала Пелагея Прохоровна.

Дня черезъ два послѣ этого она сдала бѣлье двумъ барынямъ. По свѣркѣ оказалось все въ цѣлости; барыни немножко поворчали за то, что кое-гдѣ пуговокъ недостаетъ, кое-что не совсѣмъ чисто, но деньги заплатили и велѣли приходить опять. Эта получка денегъ очень обрадовала Пелагею Прохоровну, и она веселая пришла домой.

— Вотъ теперь какая я богачка! Три рубля съ полтиной получила, да съ другихъ еще сколько получу.

— Ну, радоваться-то нечему—мыло да синьку не считаешь вѣрно.

— Все таки не даромъ стираю. А ты спрячь деньги, Игнатій Прокофьичъ.

— Это можетъ у васъ тамъ въ провинціи такъ дѣлается, а у насъ кто деньги зарабатываетъ, тотъ и хранитъ ихъ у себя.

— Нѣтъ, ужъ ты спрячь.

— Нѣтъ, ужъ не спрячу.

Они расхохотались. Деньги Пелагея Прохоровна положила въ свой узелъ подъ подушку.

XLI.

Время для Пелагеи Прохоровны и Игнатія Прокофьича шло незамѣтно; отношенія ихъ были просто дружескія; они только сходились за обѣдомъ, чаемъ и ужиномъ, ни разу даже не цѣловались. Разъ какъ-то Игнатій Прокофьичъ сказалъ: — не повѣнчаться ли имъ теперь, благо до масленицы осталось всего двѣ недѣли? но Пелагея Прохоровна отвѣчала, что они повѣнчаются навѣчно и успѣютъ еще нажиться семейно; къ тому же и здоровье ея не совсѣмъ поправилось. «Надо хоть немножко походить на прежнюю, а то какъ подъ вѣнецъ пойдешь, скажутъ: — «самъ-то Петровъ вонъ какой здоровый, а она вонъ какая худая». Еще скажутъ чахоточная, а я даже и кашляю зачѣмъ-то».

— Все это пустяки,—замѣтилъ Петровъ.

— Ну, если и пустяки,—такъ я не хочу, чтобы вся свадьба шла на твой счетъ. У меня теперь и денегъ мало, а твоихъ я ни за что въ свѣтѣ не возьму; а деньги мнѣ надо, чтобы кое-что сшить: не буду же я вѣнчаться въ чужихъ платьяхъ.

— Какъ знаешь. Потерпимъ.

Горшковъ жилъ въ томъ домѣ, гдѣ мастерская, въ которой онъ теперь работалъ. Онъ приходилъ къ Петрову раза три и звалъ его покалякать въ кабакъ. Тотъ не шелъ.

— Плохой, братъ, ты человѣкъ сталъ, Игнашко! Право.

— Что дѣлать, жениться хочу.

— На какомъ это мѣстѣ записать?

— Такая линія вышла. Пойдешь въ шафера?

— Ахъ ты... Вотъ люблю человѣка... А что же

Пелагея-то твоя къ намъ не зайдетъ, моя-то старуха была бы рада.

— Есть мнѣ когда расхаживать!—сказала Пелагея Прохоровна.

Вечеромъ ее посѣтила Софья Ѳедосѣевна, и они проговорили около полчаса. Софья Ѳедосѣевна даже не намекнула на то, дѣйствительно ли Пелагея Прохоровна выходитъ замужъ. Она сказала, что зашла просто потому, что Данило Сазонычъ пришелъ пьяный, разбушевался и унесъ съ собою кранъ изъ самовара для того, чтобы его семейные не смѣли безъ него пить чай. Прощаясь, Софья Ѳедосѣевна стала звать Пелагею Прохоровну къ себѣ въ воскресенье вмѣстѣ съ Петровымъ напиться кофею. Какъ та, такъ и другой обѣщались быть.

Въ субботу Пелагея Прохоровна собрала еще пять рублей.

— Ну, что мы будемъ завтра дѣлать?—спросилъ ее Петровъ за ужиномъ.

— Я бѣлье буду стирать.

— Полно. Надо же и отдыхъ себѣ дать... Ну, сперва ты будешь щи варить, потомъ пойдемъ къ Горшковымъ въ гости, потомъ ихъ къ себѣ пригласимъ, а потомъ?.. Вотъ что, Пелагеюшка, я думаю: не сходить ли въ театръ? Ты была въ театрахъ?

— Нѣтъ.

— Вотъ и отлично. Я тоже давно не бывалъ.

— Я не пойду до свадьбы.

— Ну, это капризъ.

Сколько Петровъ ни уговаривалъ Пелагею Прохоровну идти въ театръ, она ни за что не хотѣла идти.

Горшковъ помѣщался со своимъ семействомъ въ верхнемъ, четвертомъ этажѣ. Лѣстница къ нему была темная, узкая, со множествомъ поворотовъ и косыхъ ступенекъ, почему съ нея не разъ по ночамъ падали внизъ пьяные мастеровые и раскраивали себѣ лбы и носы. Горшковы жили на заднемъ планѣ квартиры, такъ что до нихъ приходилось идти черезъ кухню и еще черезъ комнату. Въ кухнѣ жилъ самъ хозяинъ квартиры, портной, и, кромѣ него, два подмастерья, тоже портные, но работающіе у цехового портного въ томъ же домѣ. Въ этой кухнѣ, когда вошли въ нее Петровъ съ Пелагеей Прохоровной, возились у печи три женщины — одна съ ухватомъ, другая раскалывала полѣно, а Софья Ѳедосѣевна съ кофейникомъ. Портной держалъ ведро, а двое подмастерьевъ бѣгали по кухнѣ съ бутылками.

— Лей сюда!—говорилъ одинъ подмастерье.

— Да эта съ керосиномъ была, — сказалъ портной.

— А чтобъ ее!!—И подмастерье, бросивъ бутылку, подбѣжалъ къ печкѣ и схватилъ пустой горшокъ.

Женщины заголосили.

— Что это у васъ за хлопоты?—сказалъ Петровъ, улыбаясь.

— А, господину Петрову! Да вотъ, сударь ты мой, воды не было у насъ,—плакали, а какъ я досталъ воды даровой изъ качальни, не знаемъ, куда ее дѣть... Ведро-то я у дворниковъ укралъ—надо возвратить. Горе и много-то имѣть.

Петровъ и Пелагея Прохоровна разсмѣялись.

— Вы не получаете, вѣрно, воды отъ дворниковъ?

— Капиталовъ нѣту: правомъ бѣдности пользуемся, по бѣдности намъ и даютъ изъ качальни воды.

Горшковы очень обрадовались посѣщенію гостей. Горшковъ хотѣлъ сбѣгать за водкой, но Петровъ удержалъ его, и они стали разговаривать о своихъ дѣлахъ, а Пелагея Прохоровна разговаривала съ хозяйками. Сначала сѣтовали на то, что умеръ братъ Пелагеи Прохоровны, но Горшковъ сказалъ, что лучше, по крайней мѣрѣ не мучится, и никому не мѣшаетъ, потомъ стали разсуждать о предстоящей свадьбѣ. Петровъ предложилъ хозяевамъ идти въ театръ, тѣ согласились съ удовольствіемъ.

Теперь ужъ Пелагея Прохоровна не могла не согласиться: ее упрашивали всѣ. Осталось одно затрудненіе; въ какое мѣсто идти. Горшковъ и Петровъ пошли справиться, гдѣ въ Александринкѣ мѣста дешевле. Оказалось, что и дешевле галлереи есть мѣста, только тамъ приходится стоять у стѣнки и оттуда ничего не видно.

— Прокофьичъ, возьмемъ ложу... Чортъ его дери, въ кабакахъ больше пропьешь!

— Ладно. Только моей-то бабѣ не надо говорить, сколько стоитъ. Не пойдетъ, или свои деньги выложитъ.

— Уросливая же твоя баба! А впрочемъ молода еще.

Я не буду описывать того, какъ наши знакомые пошли въ театръ! Довольно сказать, что представленіе «Грозы» имъ такъ понравилось, что каждому захотѣлось бывать въ театрѣ чаще. Для Пелагеи же Прохоровны было все ново; ей казалось, что она находится въ Богъ знаетъ какомъ прекрасномъ мѣстѣ. Публика ее занимала только въ антрактахъ, во время же представленій она слѣдила за дѣйствующими лицами на сценѣ и обращалась конфузливо къ Петрову за разъясненіемъ непонятнаго ей.

— Неужели все это правда?—спросила она Петрова дорогой, идя домой изъ театра.

— Это вѣрно.

— Не весело же и купцамъ живется.

— Всяко бываетъ.

И на Петрова «Гроза» произвела тяжелое впечатлѣніе и онъ шелъ домой молча, и дома, какъ пришелъ, такъ и заперся въ своей комнатѣ и долго не спалось ему.

До масленицы осталась только одна недѣля, поэтому Пелагею Прохоровну завалили бѣльемъ еще во вторникъ. Она еще въ понедѣльникъ чувствовала головокруженіе и какую-то потягогу, но объ этомъ Петрову ничего не сказала, думая, что это пустяки, а онъ пожалуй подумаетъ, что она женщина изнѣженная. Вечеромъ въ понедѣльникъ головная боль усилилась, и она почти всю ночь не спала и рано

принялась за работу, думая скорѣе окончить стирку взятаго бѣлья.

— Ты ужъ больно рано встаешь—эдакъ, пожалуй, охота отъ стирки отпадетъ, — сказалъ улыбаясь проснувшійся Петровъ.

— Зато на масленицѣ много времени будетъ.

Весь остальной день Пелагея Прохоровна чувствовала себя хорошо, только голова немного болѣла. Вечеромъ она уговорила Петрова идти съ нею на Фонтанку полоскать бѣлье.

— Ты бы попросила Софью Ѳедосѣевну сходить за себя; погода-то больно вѣтреная сегодня, — сказалъ Петровъ.

— Нѣтъ, ужъ будетъ барствовать; пора и самой за дѣло взяться. Ужъ я больше недѣли какъ изъ больницы вышла.

Прорубь была сдѣлана на открытомъ мѣстѣ; въ ней много женщинъ полоскало бѣлье и, казалось, ни одна изъ нихъ не обращала вниманія на рѣзкій вѣтеръ. Впрочемъ, и Пелагея Прохоровна не обращала вниманія на него, а берегла ноги, чтобы въ ботинки не попала вода, но уберечь ихъ отъ этого было невозможно—вода все-таки попала. Дорогой Пелагея Прохоровна вспотѣла; когда же они повернули въ свою улицу, то навстрѣчу подулъ опять рѣзкій, холодный вѣтеръ.

Пришедши домой, Пелагея Прохоровна выпила ковшъ холодной воды.

— Что ты дѣлаешь, дура! Хочется тебѣ, вѣрно, простудиться!—сказалъ сердито Петровъ.

— Ничего,—отвѣтила Пелагея Прохоровна, но ночью съ ней сдѣлалась горячка, и она вышла босая на лѣстницу.

Петровъ услыхалъ, что кто-то ушелъ изъ квартиры и долго не ворочается; онъ зажегъ огонь, взялъ большой молотокъ, чтобы угостить вора, и съ ужасомъ увидѣлъ Пелагею Прохоровну босую и сидящую у противоположныхъ дверей. На вопросъ его она что-то безсвязно проговорила, и онъ съ трудомъ перетащилъ ее домой.

Пелагея Прохоровна захворала серьезно. Петровъ хлопоталъ много о томъ, чтобы поправить ея здоровье, ходилъ къ докторамъ, но хорошихъ не заставалъ дома, а шарлатаны, оглядѣвъ фигуру Петрова, прописывали только лѣкарства. Отправился онъ во второй сухопутный госпиталь, но такъ какъ у него не было знакомыхъ, то и тамъ не могъ добиться никакого толку. Отправлять же Пелагею Прохоровну въ больницу ему не хотѣлось.

Барыни, давшія бѣлье и получившія его обратно въ грязномъ видѣ, сердились, называли Пелагею Прохоровну обманщицею; работа у Петрова шла туго; онъ больше находился у больной и расходовалъ накопленныя имъ прежде деньги. А тутъ пришлось еще платить за квартиру впередъ за мѣсяцъ.

Наступилъ четвергъ масленицы —день, въ который рабочіе въ Петербургѣ получаютъ разсчетъ и начинаютъ гулять. Съ пятницы всѣ загуляли. Нарядный народъ шелъ толпами на Адмиралтейскую площадь, а Пелагея Прохоровна лежала въ горячкѣ. Горшковъ пьянствовалъ и часто приходилъ за Петровымъ; но тотъ не шелъ съ нимъ. Приходили къ нему и жена Горшкова съ сестрой и тоже совѣтовали отправить больную въ госпиталь или больницу, тѣмъ болѣе, что у нея есть адресный билетъ. Такъ промаялся Петровъ съ Пелагеей Прохоровной до воскресенья. Въ воскресенье она уже не могла говорить, а только показывала на горло. Петровъ перепугался страшно и побѣжалъ за докторомъ, но не засталъ дома. Когда онъ пришелъ домой, Пелагея Прохоровна уже не дышала.

— Все, значитъ, кончено! Ищи, голубушка, гдѣ лучше... Охъ ты, жизнь проклятая!!!—И онъ заплакалъ.

Пришла Софья Ѳедосѣевна и тоже прослезилась.

— А все, Ѳедосѣевна, я виноватъ! нужно мнѣ было удержать ее отъ стирки... Я думаю: не простудилась ли она тогда, когда шла изъ театра: она на другой день была какая-то скучная.

— Можетъ быть; тамъ вѣдь было очень жарко, а шли, такъ былъ вѣтеръ.

— Вотъ теперь и мнѣ жизнь не въ жизнь: показалось ясное солнышко и скрылось! Ужъ теперь мнѣ не для кого хлопотать и стараться! —проговорилъ съ горечью Петровъ.

Пелагею Прохоровну похоронили на Митрофаньевскомъ кладбищѣ въ четвертомъ разрядѣ, потому-что въ шестомъ Горшковъ и Петровъ не могли отыскать могилу брата ея; да и Петрову хотѣлось похоронить ее поближе.

Послѣ похоронъ, Петровъ переѣхалъ на набережную Обводнаго канала и поступилъ на заводъ компаніи главнаго общества россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. Ему тяжело было жить на Итальянской, гдѣ померла любимая имъ женщина.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ половинѣ мая Петрова выбрали въ десятники на заводѣ съ жалованіемъ по сорока пяти рублей въ мѣсяцъ. Но, несмотря на то, онъ былъ задумчивъ и необщителенъ и рѣдко посѣщалъ питейныя заведенія. По праздникамъ онъ ходилъ на Митрофаньевское кладбище и вѣшалъ надъ могилой Пелагеи Прохоровны вѣнки съ цвѣтами. О своемъ горѣ онъ никому не любилъ разсказывать и, кромѣ кладбища, все свободное время употреблялъ на какую-нибудь работу дома. Жилъ онъ въ семейной квартирѣ и занималъ чистенькую комнатку, за которую платилъ пять рублей въ мѣсяцъ. Въ концѣ мая его квартирный хозяинъ сталъ переѣзжать на другую квартиру, а такъ какъ комната ему очень нравилась, то онъ и оставилъ ее за собой, а надъ воротами приклеилъ бумажку, что у него отдается комната съ кухней. Черезъ недѣлю послѣ этого его квартиру стали смотрѣть мастеровые на томъ же заводѣ, Григорій Горюновъ и Власъ Короваевъ. Горюновъ и Короваевъ работали на заводѣ уже съ мѣсяцъ и слыли за хорошихъ рабочихъ, не пьянствовали, не пропускали дней и получали по рублю двадцати коп. за день. Они работали подъ командою Петрова, но Петровъ раньше не водилъ съ ними знакомства. А такъ какъ на заводѣ Короваевыхъ

было двое, то Петрову и въ голову не приходила мысль, что который-нибудь изъ этихъ двухъ Короваевыхъ былъ женихомъ Пелагеи Прохоровны.

Петровъ отдалъ имъ комнату и кухню.

— Я-то, можетъ-быть, недолго у васъ проживу. Вотъ Гриша жениться на-дняхъ сбирается. Пора ужъ, и такъ, кажется, больше году не вѣнчавшись жили,—проговорилъ Короваевъ.

— Только, пожалуй, молодой-то не понравится комната—всего одно окно,—сказалъ Петровъ.

— Чего же еще надо? Мы люди привычные. Исходили чуть не всю Россію съ Лизкой.

— А вы откуда пришли-то?

Короваевъ назвалъ заводъ и прибавилъ: «Мы пошли искать, гдѣ лучше».

Петровъ растерялся и спросилъ:

— А вы тамъ не знали Пелагею Прохоровну Мокроносову?

Короваевъ и Горюновъ почти вскрикнули.

— Я ея братъ!

— Она мнѣ невѣста!

— Опоздали, господа. Она здѣсь была моя невѣста, да вотъ съ мясленицы теперь вонъ гдѣ!— и онъ указалъ по направленію къ кладбищу.

— Неужели умерла?—сказали Горюновъ и Короваевъ.

— А кабы осталась тамъ, да вышла за тебя, Короваевъ, замужъ, и теперь была бы жива.

Короваевъ повѣсилъ голову, а Петровъ повелъ ихъ въ питейное заведеніе.

— Пойдемте къ дядѣ. Онъ недавно открылъ кабакъ,—сказалъ Горюновъ.

Терентій Иванычъ, тому дня два, открылъ питейное заведеніе на Обводномъ каналѣ и теперь ставилъ на полки съ Лизаветой Елизаровной посуду. Онъ немного поздоровѣлъ и потолстѣлъ.

— Ну, что, дядя Терентій, гдѣ лучше?—спросилъ Терентія Иваныча Петровъ, входя въ заведеніе.

Терентій Иванычъ поглядѣлъ на Петрова однимъ глазомъ, скривилъ лицо и сказалъ:

— А ну-ка, питерскій—по-твоему, гдѣ?

— Нѣтъ, ты скажи—ты много городовъ исходилъ.

— Да что, братъ; богатому человѣку вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ плохо. На томъ свѣтѣ, должно-быть, лучше.

— То-то ты и устраиваешь туда перепутье! Вонъ у насъ не даромъ ребята говорятъ: «въ кабакѣ хорошо». Только, я думаю, вашему брату, то-есть вашему карману, лучше.

— Не думай, братъ. Я вотъ снялъ кабакъ-то у Синельникова. Подрядился отъ него за тридцать рублей въ мѣсяцъ на всемъ на своемъ, да залогу отдалъ сто рублей. А вотъ теперь отъ него поступило водки всего одно ведро и посуды нѣтъ. Не знаю, что и дѣлать.

— Смотри, чтобы не надулъ: у него, говорятъ, долговъ много.

— Что ты!.. Да я почти всѣ деньги ему отдалъ и за кабакъ хозяину свои деньги заплатилъ за мѣсяцъ. Отъ Синельникова росписку получилъ.

— Ну, дѣло значитъ пропащее. Впрочемъ, нынче гласные суды открылись.

И Петровъ разсказалъ о смерти Панфила и со всею подробностью про Пелагею Прохоровну.

— А вотъ мы съ Гришкой дошли-таки благополучно. Что-то дальше Господь пошлетъ. Будетъ ли здѣсь лучше?—сказала Лизавета Елизаровна.

На другой день Григорій Прохорычъ перешелъ съ Короваевымъ и Лизаветой Елизаровной къ Петрову, и съ этого дня между Петровымъ и Короваевымъ началась дружба: оба они знали свое дѣло хорошо, были сдержанные и сходились во взглядахъ. Часто они задавали другъ другу вопросъ: гдѣ лучше? перебирали жизнь въ разныхъ мѣстахъ и приходили къ тому заключенію, что человѣкъ созданъ для того, чтобы самому себѣ добывать пропитаніе, а такъ какъ человѣку нужно для этого немного, то онъ былъ бы вполнѣ доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тѣ, которымъ хочется жить въ свое удовольствіе.

Здѣсь я прошу у читателей позволенія остановиться съ своимъ повѣствованіемъ, которое въ непродолжительномъ времени я буду продолжать подъ другимъ названіемъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

Оглавленіе перваго тома.

Нѣсколько словъ о жизни и сочиненіяхъ Ѳ. М. Рѣшетникова, статья А. Скабичевскаго . . . . . 1—24

Подлиповцы 1

Ставленникъ 95

Глумовы 211

Горнорабочіе 389

Между людьми 457

Гдѣ лучше? 635

СОЧИНЕНІЯ

Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНІЕ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. М. СКАБИЧЕВСКАГО.

Съ портретомъ автора, вступительной статьей **А. М. Скабичевскаго** и съ библіографіей сочиненій Ѳ. М. Рѣшетникова, составленной **П. В. Быковымъ.**

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Цѣна за два тома—3 руб. 50 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ 4 руб. 50 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.
Лештуковъ переулокъ, домъ № 2.
1904.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Б. Подъяческая, соб. д., № 39.

Свой хлѣбъ.

ПРОЛОГЪ.

Май мѣсяцъ 186* года.

Часъ ночи. Въ городѣ Ильинскѣ и его окрестностяхъ темно. Небо чисто отъ облаковъ и тамъ, вверху, ярко мелькаютъ мильярды звѣздъ съ длинною полосою млечнаго пути. Съ рѣки дуетъ легкій холодный вѣтерокъ; прохладно, но хорошо; пахнетъ весной, и если бы не слякоть, то съ удовольствіемъ можно было бы пройтись по городу, гдѣ почти бо̀льшая часть оконъ въ деревянныхъ домахъ заперты ставнями, и нигдѣ не видно огня. А еще лучше сидѣть на набережной, слушая плескъ бурливой рѣки, окрики караульныхъ изъ-подъ горы и изъ самого города, и лай собакъ. Кромѣ этого въ самомъ городѣ тишина: повидимому спятъ всѣ.

Начинаетъ свѣтать. Тихо. Только кое-гдѣ кричатъ мужскіе голоса: «слушай!» одинъ за другимъ — кто теноромъ, кто неопредѣленнымъ голосомъ, и такимъ же манеромъ лаютъ собаки: залаетъ сперва одна собака, за ней другая, потомъ третья, четвертая и наконецъ залаютъ вразъ уже неопредѣленное количество собакъ. Но и этотъ концертъ скоро смолкаетъ, и на нѣсколько минутъ настанетъ тишина гробовая, изрѣдка, впрочемъ, нарушаемая стукомъ палокъ объ заплоты.

Но вотъ уже обрисовываются дома. На Волгѣ видны лодки съ рыболовами. Вотъ къ берегу пристала лодка. Изъ нея вышли двое мужчинъ—одинъ въ нанковомъ пальто, другой въ халатѣ; у того, на которомъ нанковое пальто, надѣта на головѣ фуражка съ зеленымъ околышемъ и съ кокардой, волосы короткіе, маленькіе усы; у другого на головѣ тоже фуражка, но на ней нѣтъ кокарды и на ногахъ у него нѣтъ сапоговъ, какъ у его товарища, а надѣты рваныя ботинки. Втащивши кое-какъ лодку, они, пошатываясь, пошли въ городъ. Но такъ какъ имъ приходилось подниматься на гору по единственной грязной и крутой дорогѣ, то, если бы не весла, которыми они подпирались, имъ пришлось бы довольно трудно. Хотя на пути, въ сторонѣ отъ дороги, и стоитъ кабакъ съ вывѣской: «Перепутье», но ихъ не пустили бы туда, да и кабакъ былъ охраняемъ огромной бѣлой собакой, привязанною толстой веревкой къ небольшой будкѣ. Они взошли на площадь, посреди которой стоитъ небольшая церковь, а спереди, на самомъ краю, къ рѣкѣ, насажены двѣ аллеи березъ и тополя, а за церковью, тоже на площади, устроено три деревянныхъ амбара, съ нѣсколькими дверьми въ каждомъ, и нѣсколько небольшихъ открытыхъ лавокъ. Прошедши церковь, они пошли по широкой улицѣ. На углу этой улицы стоитъ пятистѣнная будка и около нея столбъ, но въ ея полукруглыхъ окошкахъ разбиты стекла, а на столбѣ нѣтъ фонаря. Идутъ они и ругаются. Сзади ихъ ѣдетъ кто-то въ телѣгѣ.

— Слу-шай! — кричитъ на углу пронзительно мужской голосъ, которому вторятъ уже немногіе охрипшіе голоса...

— Кто идетъ?—спрашиваетъ идущихъ съ веслами мужчина въ ситцевомъ халатѣ съ черною трещеткою подъ лѣвою мышкою и съ толстою палкою въ лѣвой рукѣ.

— Я тебѣ дамъ:—кто идетъ! ослѣпъ, что ли?—сказалъ мужчина въ халатѣ.

— А!! много рыбы-то, Кузьма?

— Вся тамъ!—и онъ указалъ рукой по направленію къ рѣкѣ, но размахнулся такъ, что упалъ. Подъѣхала телѣга. Въ телѣгѣ лежали березовыя полѣнья, накладенныя на скорую руку; рядомъ съ лошадью шелъ мужчина въ рваномъ пальто. Всѣ обмѣнялись «добрымъ здоровьемъ», а караульщикъ проговорилъ:

— Попадешься же ты когда-нибудь! У кого сляпалъ!

— Э-э!... Небось, заворуешь! Лѣсу сколь, а рубить не велятъ. Почемъ нонѣ дрова-то? Три!

— Что и говорить: времена нонче куды какъ тяжелы. Вотъ опять гляди кабы желѣзную дорогу не стали строить: тогда по пяти заплатишь. Не даромъ я и изъ Егорьевска сюда переселился — раззоръ

одинъ: эта чугунка все къ рукамъ прибрала. Ужъ я смѣкаю, не посолъ ли какой отъ чугунки и пожаръ-то у насъ учинилъ: вѣдь тридцать два дома сгорѣло, страсти Господни!

— Бѣда. Вотъ теперь и бани запечатали; караулить велятъ днемъ и ночью... А ты погляди, сами-то они что дѣлаютъ? Вонъ исправникъ, да казначей и прочіе по улицамъ ѣдутъ—сигары курятъ, а какъ нашъ братъ съ трубкой выйдетъ за ворота—такъ въ полицію тащатъ. Самосуды! Да я, братъ, на сѣнникѣ постоянно съ трубкой спать ложусь и ничего—Богъ хранитъ, потому что я знаю, какъ надо курить.

— Вотъ стало быть, братъ, ты и поджигатель!—проговорилъ чиновникъ и прибавилъ:—пойдемъ-ка въ полицію.

— Ты еще что за птица?

— Та и птица, что скоро женюсь на дочери виннаго пристава Яковлева.

— Это и видно: у Яковлева-то сегодня крестины, а ваше благородіе и не приглашены видно.

— Дуракъ! приглашали, да не пошелъ, потому что я въ ссорѣ съ головой, а голова приглашенъ кумомъ.

Чиновникъ пошелъ дальше.

— Ты слышалъ?—спросилъ онъ Кузьму.

— Чего?

— Что у пристава крестины?

— А!!

Больше Кузьма не въ состояніи былъ говорить: онъ шелъ почти съ зажмуренными глазами, упираясь на чиновника.

— Вѣдь это обида! Я женихъ; онъ выдаетъ за меня Марью, и вдругъ не пригласилъ... Онъ даже скрылъ отъ меня, что у него сегодня крестины. Какъ ты объ этомъ думаешь?.. И какъ это я не узналъ! А еще хожу мимо ихняго дома!

Товарищъ молчалъ.

— Надо на попятный дворъ. Не такъ ли?

— Именно.

— Я сейчасъ обругаю его противъ его же дома.

— Ну... Охота!

— И обругаю! Я дворянинъ, а онъ что!.. Я помощникъ бухгалтера въ казначействѣ, а онъ подъ судъ отданъ за старую службу. У него теперь десятая родилась; пусть-ка онъ выроститъ... Нынче, братъ, должность не скоро получишь, а женишковъ и подавно хорошихъ не скоро найдешь. Я ему утру носъ-то... Видишь?—и чиновникъ остановился.

Направо противъ ихъ, черезъ дорогу, стоитъ девятиоконный каменный домъ. Половина верхняго этажа освѣщена, въ четырехъ окнахъ мелькаютъ тѣни, а изъ пятаго, отвореннаго, слышится пискъ двухъ скрипокъ. Изъ двора слышится ржаніе лошадей.

— Видишь?!—произнесъ злобно чиновникъ:—танцуютъ, на скрипкѣ пилятъ... А я-то что же такое?

Кузьма очнулся, глянулъ на домъ и промычалъ что-то.

— Нѣтъ, ты пойми: какъ они безъ меня могли? Теперь Машка съ казначеемъ танцуетъ... Пойдемъ!

— Куда?

— Къ нимъ.

— О-охъ, вы полунощники! Велика бѣда, что не пригласили!.. Оно еще къ лучшему: у васъ, поди, и на зубокъ-то нечего положить,—проговорила женщина, сидящая съ трещоткой у воротъ трехъоконнаго низенькаго деревяннаго дома, около котораго стояли чиновникъ и Кузьма.

— Ахъ, это ты Зелениха!

— Караулю, батюшка!.. Да вотъ съ этой музыкой, да съ ребятишками своими смучилась: не спятъ, на улицу просятся. А вы, Никандро Иванычъ, слышали новость?

— Какую?

— А еще женихомъ себя величаете: вѣдь Дарья-то Андреевна убѣжала изъ монастыря. Ихняя кухарка сказывала мнѣ сегодня. Самъ-то письмо отъ игуменьи получилъ. Вотъ что-съ!..

— Неужели?

— Врать, что ли, стану! Сегодня вечеромъ мнѣ даже ихній дворникъ сказывалъ. Всѣ, говоритъ, какъ узнали объ этомъ—письмо, слышь, получили—чуть не перегрызлись.

— Странно... Какъ же говорили, что она уже въ монашкахъ?

— Вотъ то-то, что они васъ хотѣли надуть!

— Ну, ты ужъ, пожалуйста! Я вѣдь и...—И онъ замахнулся.

— Мнѣ все равно; только врядъ ли вы много получите въ приданое! Вотъ вамъ лучше бы на Дарьѣ Андреевнѣ жениться...

— Ты думаешь?

— Да еще не пойдетъ.

— Почему?

— Потому что она умнѣе и бойчѣе васъ.

— Ну, братъ... Да ее, поди, и на домъ не пустятъ.

— Богъ ее знаетъ. Говорятъ, она беременна ужъ.

— Что-о ты!! Вотъ тебѣ и покорно благодарю!!.

— Ей-Богу... И я этого не ожидала, а жалко! Если она сюда пріѣдетъ... Да нѣтъ, нельзя!

— Да, можетъ-быть, это враки; можетъ, мачиха нарочно разславляетъ.

— А можетъ-быть. Только я думаю, какъ она жить будетъ? Она еще передъ отъѣздомъ говорила мнѣ, что ей хочется работать. Но если это такъ, такъ это одна дурь: попробовала бы она поработать по-нашему... Свой-то хлѣбъ о-ёё какъ тяжело достается!

Отворились ворота; изъ двора выѣхали гости, мужчины и дамы. Въ домѣ погасили огни, заперли окна. Пока гости выѣзжали, чиновникъ ушелъ во дворъ. Стало порядочно свѣтло. За выѣздомъ гостей, крестя ротъ и зѣвая, ушла спать и Зелениха. Вдругъ послышался съ рѣки свистъ парохода, а черезъ полчаса на улицѣ, по направленію къ яковлевскому дому, шла дѣвушка лѣтъ восемнадцати, въ сѣренькомъ бурнусѣ, въ круглой шляпкѣ и съ большимъ узломъ.

I

Городъ Ильинскъ расположенъ въ полуверстѣ отъ рѣки Волги на лѣвомъ ея берегу, на возвышенномъ мѣстѣ. Въ немъ, съ достовѣрностью можно сказать, жило въ описываемое время не больше шести ты-

сячъ жителей обоего пола и были двѣ церкви и кладбище. Затѣмъ онъ ничѣмъ не знаменитъ, но какъ городъ старинный, извѣстенъ тѣмъ, что много разъ выгоралъ.

По наружности своей онъ мало чѣмъ отличается отъ другихъ маленькихъ русскихъ городовъ. Каменыхъ домовъ въ немъ штукъ восемь,—остальное строеніе, за исключеніемъ церквей, деревянное. Но за то у рѣдкаго дома нѣтъ садика. Тротуары существуютъ только у двухъ большихъ домовъ; ночью улицы не освѣщаются, кромѣ праздниковъ, когда обыватели ходятъ въ церковь; на крышахъ домовъ стоятъ кадки, большею частью пустыя и разсохшіяся; на окнахъ непремѣнно красуются банки съ какими-нибудь цвѣтами и растеніями. Оживленія немного, кромѣ субботы, когда каждый изъ жителей запасается провизіей на рынкѣ на всю недѣлю. Хотя кое-гдѣ и стоятъ столбы, но фонарей на нихъ нѣтъ; фонари эти красуются только во время пріѣзда въ городъ губернатора, а потомъ исчезаютъ снова. Сверхъ того, городъ оживляется по утрамъ и вообще въ то время, когда мальчики идутъ въ училища—уѣздныя и приходскія (свѣтскія) и обратно, и служащій людъ стремится на службу и со службы, да по вечерамъ въ хорошіе лѣтніе дни, когда любители сильныхъ ощущеній прохаживаются на берегу рѣки по аллеѣ, а другіе, почти все населеніе, высыпаютъ за ворота съ какой-нибудь легкой работой, съ яблоками или грушами, ѣдятъ, курятъ и толкуютъ о своей бѣдности, о плутняхъ купцовъ и должностныхъ чиновниковъ, и сплетничаютъ другъ на друга. Трудовая, тяжелая жизнь видится по преимуществу только на берегу рѣки, гдѣ складываютъ и откуда увозятъ черезъ городъ разные товары; въ самомъ же городѣ, кромѣ трехъ-четырехъ кузницъ, ни фабрикъ, ни заводовъ не существуетъ; даже рѣдко можно увидать новый строющійся или старый поправляемый домъ. Городъ самъ ничего не производитъ, а только потребляетъ для себя то, что достанетъ на своей площади изъ амбаровъ-магазиновъ, или изъ другихъ городовъ, болѣе его развитыхъ въ промышленномъ отношеніи. Впрочемъ сады даютъ фрукты, пчелы — медъ и воскъ, нѣсколько человѣкъ разводятъ табакъ и дѣлаютъ его удобнымъ для куренія и нюханія; но все это находится въ первобытномъ состояніи и продается на берегу рѣки судорабочимъ и пассажирамъ, а во время ильинской ярмарки на площади и сельскимъ жителямъ въ самомъ небольшомъ количествѣ.

Большинство жителей состоитъ изъ мѣщанъ, меньшинство—изъ купцовъ и лицъ, служащихъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ. Первые большею частью торгаши и люди занимающіеся чѣмъ-нибудь; всѣ роды ремеслъ находятся, за очень небольшими исключеніями, въ рукахъ мѣщанъ, которые такимъ образомъ кормятся какъ отъ купцовъ, такъ и отъ людей, занимающихся коронною службою, а эти послѣдніе кормятся жалованьемъ и посильными приношеніями купцовъ и мѣщанъ, если только послѣдніе имѣютъ съ первыми дѣловыя сношенія. Большая часть домовъ принадлежитъ купцамъ и мѣщанамъ, самая меньшая—чиновникамъ, потому что купцы наживаютъ капиталъ всякими неправдами, а мѣщане не гнушаются никакими черными занятіями, и жены ихъ, кромѣ того, снабжаютъ холостыхъ чиновниковъ и небогатыя семейства молокомъ и овощами, стираютъ бѣлье, моютъ полы, а нѣкоторыя продаютъ на берегу хлѣбъ. Чиновники же, кромѣ своей службы, ничѣмъ не занимаются и дома имѣютъ тѣ, которые тутъ выросли или получили эти дома въ приданое за женами.

Мѣщане съ давнихъ временъ считаютъ себя силой и въ то же время людьми самыми обиженными. Силой—потому, что они въ прежнія времена защищали не только свой городъ, но и другіе города; униженными—потому, что имъ не давали тѣхъ правъ, какими пользовались чиновники. Но такъ какъ изъ этого положенія выбиться не было возможности, а число ихъ и чиновниковъ съ каждымъ годомъ возрастало, то многимъ изъ нихъ пришлось коротать жизнь очень бѣдно, употребляя въ пищу ржаной хлѣбъ съ пескомъ, мелкую рыбу, горошницу и тертую рѣдьку съ квасомъ, потому что доставать заработокъ приходилось не всѣмъ, и часто хорошій портной сидѣлъ безъ дѣла по недѣлѣ и по двѣ, а рѣка давала средства только лѣтомъ, рубить же воровски лѣсъ сдѣлалось опасно. Если и бывали порядочные заработки, то деньги уходили на подарки чиновникамъ за дѣла, на угощенія въ большіе праздники, почему многіе мѣщане находились въ кабалѣ у кулаковъ-купцовъ. Кромѣ этого, у рѣдкаго не было коровы, и слѣдовательно приходилось покупать сѣно. По всѣмъ этимъ причинамъ мѣщане очень враждебно относились къ чиновному классу и къ купцамъ, чему много способствовало, во-первыхъ, то, что почти половина мѣщанъ принадлежала къ раскольникамъ, а во-вторыхъ, то, что жительство этихъ раскольниковъ, находившееся къ прежнее время подъ горой, теперь было занято подъ склады товаровъ. Еще до основанія города, подъ горою была расположена слобода, жители которой, считая себя свободными людьми, занимались преимущественно рыболовствомъ и весной снабжали хлѣбомъ всѣхъ плававшихъ мимо города людей. Нельзя сказать, чтобы они были миролюбиваго характера. Впослѣдствіи, съ наплывомъ людей служилыхъ и пріѣзжихъ купцовъ они были причислены къ городу и названы мѣщанами. Мало-по-малу, всѣ невзгоды обрушились главнымъ образомъ на нихъ. Отъ нихъ стали требовать и денегъ, и рекрутовъ, и услугъ; купцы же стали эксплуатировать ихъ. Со временемъ, эта вражда усилилась до того, что каждый мальчикъ и дѣвочка изъ слободы видѣли въ городскомъ мальчикѣ или дѣвочкѣ врага. Вообще слободскіе мѣщане слыли чуть-чуть не за разбойниковъ, такъ что черезъ слободу даже днемъ ходить было небезопасно, и если въ городѣ случались кражи и убійства, то это приписывалось имъ. Мало-по-малу однакожъ городскіе купцы и торгаши-мѣщане такъ прижали слобожанъ, что они поневолѣ должны были уступить, и стали пускать въ свои дома на квартиры чиновниковъ и родниться съ ними, но на самомъ дѣлѣ стоило задѣть чѣмъ-нибудь одного мѣщанина изъ слободы, какъ поднималась вся слобода, и эта вражда оканчивалась только какимъ-нибудь престольнымъ праздникомъ

въ городѣ, когда горожане изъ послѣднихъ своихъ достатковъ до отвалу кормили и до безчувствія поили своихъ знакомыхъ мѣщанъ изъ слободы. Къ чиновникамъ какъ слободскіе, такъ и городскіе относились не одинаково. Нѣсколько человѣкъ изъ чиновниковъ даже пользовались общимъ расположеніемъ, какъ люди старые и никуда не выѣзжавшіе изъ города. Съ семействами-то этихъ чиновниковъ и роднились мѣщане. Другіе же чиновники состояли изъ пріѣзжихъ, и эти пріѣзжіе никогда не пользовались расположеніемъ мѣщанъ, и если послѣдніе замѣчали, что какой-нибудь изъ пріѣзжихъ ухаживалъ за слободскою дѣвицей, то принимали мѣры, чтобъ у него отпала всякая охота даже проходить черезъ слободу.

Теперь этой слободы нѣтъ и слобожане слились съ горожанами, построивъ на пустопорожнихъ мѣстахъ дома. Со времени уничтоженія слободы по приказу начальства, которому почему-то не понравились ветхіе домики подъ горой, вражда мѣщанъ къ чиновникамъ возрасла больше. Но за то слобожане, не имѣя возможности властвовать надъ рѣкой, какъ прежде, стали сдержаннѣе и, скрѣпя сердце, занялись ремеслами. Поэтому теперь всѣ роды ремеслъ находятся въ рукахъ мѣщанъ. Если же сюда и заѣзжаетъ какой-нибудь аферистъ, то недолго онъ живетъ въ городѣ, и уѣзжая, не только ничего не наживши, но даже проживши привезенныя деньги, проклинаетъ Ильинскъ.

Что касается до интеллектуальныхъ удобствъ города Ильинска, то въ немъ существуютъ приходское и уѣздное училища, основанныя за десять лѣтъ до начала настоящаго разсказа. Въ этихъ училищахъ учатся мальчики всѣхъ классовъ, но кончаютъ курсъ только дѣти чиновниковъ, мѣщанскія же дѣти большею частью заканчиваютъ обученіе или приходскимъ училищемъ, или первымъ классомъ уѣзднаго училища, а дѣти купцовъ иногда доходятъ и до второго класса. Для дѣвочекъ училищъ не существуетъ, и поэтому меньшинство ихъ обучается дома.

II.

Въ каждомъ городѣ, большомъ и маленькомъ, значительномъ и ничего незначащемъ, непремѣнно существуетъ, если не нѣсколько, то по крайней мѣрѣ одинъ домъ, чѣмъ-нибудь отличающійся отъ другихъ. Такъ и въ Ильинскѣ каждый житель знаетъ съизмалѣтства о четырехъ домахъ: о домѣ виннаго пристава Яковлева, о домѣ протопопа Григорія Ивановича Пьянкова, братъ котораго и по настоящее время служитъ гдѣ-то въ санѣ епископа, о домѣ уѣзднаго судьи Крюкова и о домѣ купца Зиновьева. Но изо всѣхъ этихъ домовъ больше всего извѣстенъ и славится домъ нынѣшняго пристава, назадъ тому два года бывшаго уѣзднымъ стряпчимъ, Андрея Ивановича Яковлева. Домъ этотъ обращаетъ на себя вниманіе девятью окнами въ верхнемъ этажѣ, какъ съ улицы, такъ и съ площади, съ цвѣтами и съ бутылями на окнахъ, выходящихъ на площадь, и съ разбитыми стеклами въ окнахъ нижняго этажа. Въ окнахъ этого нижняго этажа сдѣланы чугунныя съ рѣзьбою рѣшетки. Онъ обращаетъ на себя вниманіе каждаго новоприбывшаго въ городъ своею высокою деревянною крышею, ничѣмъ не окрашенною, а также своимъ большимъ садомъ и заплотомъ вокругъ него, наверху котораго торчатъ остріемъ вверхъ огромные гвозди. Этотъ домъ никогда не принадлежалъ какому-нибудь графскому или древнему дворянскому роду, такъ какъ въ Ильинскѣ такія знаменитости рѣдко живали, несмотря на живописные берега, на рѣку и на то, что въ уѣздѣ его есть много дворянъ-помѣщиковъ. Тѣмъ не менѣе это все-таки домъ древній. Говорятъ, что въ немъ прежде жилъ намѣстникъ города и въ нижнемъ этажѣ помѣщалась городская тюрьма, въ которую сажали воровъ и другихъ обвиняемыхъ въ какихъ-нибудь преступленіяхъ людей и изъ другихъ мѣстъ; что эта тюрьма считалась самою крѣпкою не потому, что въ нижнемъ этажѣ были рѣшетки, а потому, что подъ нижнимъ этажемъ находились темные подвалы, куда запирали преступниковъ, которые тамъ большею частью и умирали, не дождавшись суда надъ ними. Послѣ пожара, отъ котораго остались только однѣ стѣны, эти стѣны стояли нетронутыми нѣсколько лѣтъ. Въ пустыхъ площадкахъ на полуразрушившихся печахъ и стѣнахъ обитали голуби, галки и вороны, а деревенскіе жители, не имѣвшіе въ городѣ пристанища, частенько ночевали тамъ. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ; казна не имѣла средствъ возобновить домъ, со стороны же покупателей на него не находилось. Мало-по-малу горожане стали извлекать изъ него небольшую выгоду: такъ, они выломали рѣшетки и продали ихъ, стаскали печные кирпичи и даже принялись-было за стѣны.

Лѣтъ десять сряду оставленный домъ служилъ для суевѣрныхъ людей источникомъ неисчерпаемыхъ толковъ. Всѣ женщины были убѣждены, что тамъ по ночамъ живутъ кикиморы, что нѣсколько личностей будто бы даже видѣли по ночамъ огни въ домѣ и слышали какую-то пляску; по ночамъ и мужчины боялись ходить мимо дома, а шли другими улицами и переулками; этимъ домомъ пугали дѣтей, и всѣ были убѣждены въ томъ, что не сдобровать тому человѣку, который купитъ его и постарается на свою голову отдѣлать. Городское начальство даже ходатайствовало о томъ, чтобы эти стѣны сломать, а мѣсто съ фруктовыми деревьями, могущими приносить коекакой доходъ, поручить надзору полиціи. А между тѣмъ эти опаленныя стѣны у всѣхъ горожанъ были какъ бѣльмо на глазу и съ каждымъ днемъ страхъ болѣе и болѣе увеличивался. Бывали случаи, что въ стѣнахъ этого дома находили скоропостижно умершихъ, и смерть ихъ приписывали чертямъ. Губернское начальство наконецъ отступилось отъ дома; его купилъ купецъ, но умеръ вскорѣ по переѣздѣ въ домъ; семейство купца выѣхало изъ него, заперло его, но тутъ нашелся смѣльчакъ, которому сильно захотѣлось завладѣть домомъ. Это былъ молодой секретарь уѣзднаго суда Яковлевъ. Онъ женился на дочери умершаго купца и, получивъ въ приданое этотъ домъ, уговорилъ судью перевести судъ въ нижній этажъ. Впослѣдствіи онъ туда же пустилъ и земскій судъ. Слухи о чертяхъ прекратились, потому что суды изгнали чертей.

Двѣнадцатый часъ дня. На улицахъ города Ильинска грязно, хотя и печетъ солнышко; грязно отгого, что недавно только-что пересталъ идти большой дождь, который въ какіе-нибудь полтора часа такъ смочилъ песокъ и глину на улицахъ, что нужно было запасаться галошами самыхъ большихъ размѣровъ для того только, чтобы перейти съ одного угла на другой. Но зато, несмотря на сильно грѣющее солнце, у тѣхъ домовъ, у которыхъ есть садики, дышется легче, пахнетъ сиренью или геранью и жасминами, хотя изъ отворенныхъ оконъ тянетъ, какъ изъ открытой печки, жаромъ, съ запахомъ, похожимъ на печеный хлѣбъ. Легкій вѣтерокъ слегка колеблетъ листки деревьевъ, съ которыхъ падаютъ дождевыя капли на идущаго около заплотовъ, и наводитъ не то нѣгу, не то умиленіе, такъ-что если бы въ эту пору случилось идти такимъ образомъ петербургскому жителю, то ему бы подумалось: вотъ она жизнь-то гдѣ настоящая! И ему непремѣнно захотѣлось бы долго-долго наслаждаться этою жизнью, если бы до его слуха не доходили бранчливые голоса изъ маленькихъ домишекъ, населенныхъ мѣщанами и ихъ ворчливыми старухами, крикъ ребятъ, бѣгающихъ во дворахъ и посреди улицъ безъ штановъ, босикомъ, и болтающихъ ногами воду въ ручейкахъ, и дополняющія эту картину семейной жизни бродящія по улицамъ свиньи съ поросятами. Такой пѣшеходъ, довольствуясь теплотою, запахомъ отъ цвѣтовъ, легкимъ вѣтеркомъ и голубымъ небомъ, по которому кое-гдѣ еле-еле плывутъ бѣлыя тучки съ сѣрымъ оттѣнкомъ, въ эту пору рѣдко кого встрѣтитъ на городскихъ улицахъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ сторожей, идущихъ отъ почтовой конторы куда-нибудь съ книжками или дестевыми подъ мышками, да еще какого-нибудь блѣднолицаго молодого человѣка въ полиняломъ пальто или сюртукѣ и съ форменной фуражкой на головѣ, изобличающей въ немъ писца.

Ровно въ половинѣ двѣнадцатаго часа изъ Богородицкой церкви вышелъ сторожъ съ жестяною купелью и дьячокъ въ суковномъ подрясникѣ, опоясанномъ широкимъ вышитымъ поясомъ, и въ бѣлой поярковой шляпѣ съ широкими полями. Они сѣли на линейку, принадлежащую винному приставу Яковлеву, кучеръ котораго (онъ же и дворникъ) Трифонъ Клементьичъ, очень толстый господинъ, съ лысиной, длинными черными волосами и большою бородой съ просѣдью—человѣкъ въ городѣ извѣстный и уважаемый всѣми.

Дьячку рѣдко приходилось ѣздить на линейкѣ; но онъ сидѣлъ важно, съ самодовольствіемъ поглядывая на дома Къ тому же онъ былъ мужчина рослый, молодой и красивый, съ курчавыми рыжими волосами и только-что начинающей выступать бородкой. Въ городѣ его называли молодымъ, потому что онъ жилъ съ молодою женою въ медовомъ мѣсяцѣ, а самъ говорилъ всѣмъ, что его скоро посвятятъ въ дьяконы, такъ какъ его тесть дьяконъ переведенъ за голосъ въ губернскій городъ, гдѣ и числится при архіерейскомъ хорѣ. Сторожъ, не ѣзжавшій въ линейкахъ, да еще такого туза, какъ бывшаго стряпчаго Яковлева, напротивъ, чувствовалъ себя неловко и готовъ былъ лучше идти по грязи, чѣмъ сидѣть, но его удерживало одно: надежда получить отъ виннаго пристава водки и денегъ за то, что онъ тоже участвовалъ въ привезеніи купели. Кучеръ былъ сердитъ.

Сперва всѣ ѣхали молча. Кучеръ не оглядывался; сторожъ не любилъ разговаривать вообще; дьячокъ ждалъ, пока къ нему не обратятся, такъ какъ онъ считалъ себя выше этихъ людей, но натура у него была такая, что онъ не могъ молчать долго.

— Клементьичъ? А Клементьичъ? Много у васъ будетъ гостей?—спросилъ онъ вдругъ кучера.

Кучеръ промолчалъ.

— Что это у васъ нынѣ рѣдко гости бываютъ?—опять спросилъ дьячокъ кучера.

— Будетъ время, и совсѣмъ не будемъ приглашать,—отвѣтилъ кучеръ рѣзко и тономъ обиженнаго человѣка.

— Что такъ! Али воля?... Да вѣдь у твоего-то барина не было крѣпостныхъ.

— Что же, что не было! Небось! получше кого другого живемъ,—сказалъ кучеръ обидчиво и ткнулъ рукой по направленію къ тому дому, въ которомъ жилъ земскій исправникъ, и продолжалъ:—куда ни позови, вездѣ идетъ, а у самого двери постоянно на запорѣ.

— Ну, у него жена нѣмка, а нѣмцы вѣдь русскихъ не любятъ.

— Кабы не любили, не ѣздили бы къ намъ. Она какъ ни пріѣдетъ къ намъ, то и дѣло играетъ съ барыней, Мариной Осиповной, въ преферансъ. Нынче ихъ не приглашали—не стоютъ. Марина-то Осиповна ужъ пять недѣль, какъ родила, а эта исправничиха нѣтъ чтобы провѣдать—здорова ли, молъ. Оно и то надо сказать, у нихъ, у господъ, другіе порядки, чѣмъ у насъ; у насъ, у мѣщанъ, попросту: поссоримся и помиримся, а у господъ нѣту этого.

— Разумѣется. Господа люди образованные.

— Кабы мы умѣли писать, и мы бы не уступили. Вонъ, посмотри, письмоводитель у Андрея Иваныча—мѣщанинъ, а орудуетъ всѣми дѣлами: Андрей Иванычъ знай только подписываетъ.

— Это такъ. Но я подразумѣваю все-таки образованіе—ученость; напримѣръ, вотъ хоть бы я: я скоро буду самъ дьякономъ.

Кучеръ отвернулся и съ презрительной улыбкой посмотрѣлъ на дьячка.

— Не вѣришь небось?

Кучеръ, ничего не сказавъ, сталъ торопить лошадей. Дьячокъ обидѣлся и тоже сталъ молчать.

— Нынче Андрей Иванычъ ужъ не даетъ на свѣчку по гривеннику, какъ прежде, когда былъ стряпчимъ. Нынче онъ и въ кошелекъ кладетъ копеечку, а не серебряный пятачекъ. Оно хотя эти серебряные пятачки бралъ къ себѣ отецъ протопопъ, а все же, значитъ, у Андрея Иваныча радѣнія было больше!—проговорилъ сторожъ.

— Да, да! Отецъ протопопъ сказывалъ онномедни, что онъ и за исповѣдь сталъ меньше получать отъ виннаго пристава,—проговорилъ въ свою очередь дьячокъ и захохоталъ.

— Вамъ бы все брать! И такъ мы много водки и вина всякаго даримъ. Нынче не тѣ доходы... Вы то разсудите, сколько у Андрея Иваныча дѣтей. На моихъ глазахъ у него сегодня десятую будете крестить,

а до меня еще сколько ихъ было крещено! Теперь вотъ у него съ этой дѣвчонкой считается въ живыхъ ровно десять. Ихъ, поди, надо кормить, одѣть, выучить, къ мѣсту пристроить. Я больше васъ знаю его... Вотъ что! Деньги-то вѣдь не съ неба падаютъ!—проговорилъ кучеръ.

— Такъ-то оно такъ, да вѣдь у него двѣ дочери уже пристроены замужъ, третья нынче тоже выйдетъ замужъ, старшій сынъ становымъ, другой тоже, поди, поступилъ на службу, третій служитъ въ Сибири, а Дарья Андревна въ монастырѣ...

— Ну, такъ что! Не ваше дѣло считать... Нынче становые не то, что прежде; нынче завелись слѣдователи, а Дарьѣ Андревнѣ такъ и слѣдуетъ жить въ монастырѣ.

Черезъ пять минутъ они въѣхали во дворъ яковлевскаго дома.

Домъ выходилъ во дворъ большимъ прямымъ угломъ и имѣлъ въ нижнемъ этажѣ три крыльца; штукатурка со стѣнъ во многихъ мѣстахъ отвалилась, и на этихъ мѣстахъ некрасиво обозначились почернѣлыя отъ времени дранки, такъ что по одному взгляду на стѣны можно было заключить, какъ старъ этотъ домъ. Въ трехъ верхнихъ окнахъ, самыхъ крайнихъ, къ амбару, въ которомъ помѣщаются погребъ, каретникъ, жилья для коровъ и проч., видны какіе-то цвѣты въ банкахъ, коробочки, принадлежащія, какъ кажется, женщинамъ, и кисейныя занавѣски; на четырехъ окнахъ, ближнихъ къ углу, занавѣсокъ нѣтъ, а на каждомъ стоятъ по двѣ большихъ бутылки. Изъ этихъ оконъ слышится серебристый звонкій разговоръ, принадлежащій женскимъ голосамъ. На подоконникахъ остальныхъ оконъ, какъ внизу, такъ и вверху, замѣчаются кипы бумагъ, большихъ книгъ съ рваными корешками и верхними корками, оттопырившимися отъ песку, ежедневно по нѣскольку разъ попадающему на страницы при засыпаніи чернилъ. Вверху замѣчаются два человѣка, разговаривающихъ у окна; оба они въ форменныхъ сюртукахъ со свѣтлыми пуговицами; внизу у оконъ сидятъ у столовъ писцы. На среднемъ крыльцѣ трое служащихъ курятъ папироски. При видѣ линейки всѣ эти люди начали острить кто надъ кучеромъ, кто надъ дьячкомъ, но больше всего доставалось сторожу. Но лучше всего было взглянуть направо: тамъ, черезъ сажень отъ воротъ, начиналась деревянная фигурчатая, выкрашенная голубою краскою рѣшетка, которая тянулась вплоть до заднихъ построекъ и соединялась такимъ образомъ съ садомъ. За этой рѣшеткой, на разстояніи пяти саженъ ширины и десяти длины, разведенъ садикъ, въ которомъ двѣ прямыхъ аллеи. Посреди этихъ аллей сдѣлано нѣсколько неправильныхъ дорожекъ, усыпанныхъ мелкимъ голешникомъ, а около нихъ, на кругахъ и трехугольникахъ, цвѣтутъ желтые, голубые и малиновые цвѣты. Недалеко отъ заплота, выходящаго на улицу противъ входа въ палисадникъ, построена небольшая бесѣдка, вокругъ которой растетъ восемь тополевыхъ деревьевъ, тощихъ, но высоко поднимающихся кверху. Въ этомъ палисадникѣ чирикаютъ птички. Во дворѣ чисто, хотя и бѣгаетъ нѣсколько курицъ съ двумя пѣтухами, которыхъ безпрерывно сгоняетъ съ мѣста четырехлѣтній здоровый мальчикъ, одѣтый по-господски. Недалеко отъ каретника стоитъ большая повозка съ кожаными накладкой и фартукомъ.

Пріѣхавшихъ встрѣтилъ самъ хозяинъ. Это былъ невысокаго роста плотный, здоровый и еще красивый мужчина, несмотря на свои пятьдесятъ шесть лѣтъ, такъ что, взглянувъ на него, ему можно было дать не болѣе 45-ти. Лицо у него широкое, полное, съ желтыми и съ оттѣнкомъ небольшой красноты щеками, гладко выбритыми. Онъ улыбался; голубые глаза глядѣли привѣтливо; такъ и казалось, что это самое добрѣйшее существо въ мірѣ, но въ глазахъ замѣчалась сосредоточенность, точно онъ всю жизнь или занимался книгами и письмомъ, или что-нибудь обдумывалъ; лобъ широкій, съ бѣлымъ отливомъ, гладкій, но на немъ, какъ бы вслѣдствіе какого-то горя, замѣчается небольшая полоска по самой серединѣ, надъ носомъ; волоса сѣдые, рѣдкіе, зачесаны гладко на виски; на темени небольшая лысина. Одѣтъ онъ въ вицмундиръ, съ околышемъ министерства финансовъ и съ мѣдными пуговицами, на коихъ красуются гербы той губерніи, къ которой принадлежитъ городъ Ильинскъ. На вицмундирѣ прилѣплены: пряжки за XXV лѣтъ, медаль въ память послѣдней войны, а на шеѣ орденъ Станислава.

Зала имѣла бы вполнѣ казарменный видъ, если бы на каждомъ изъ трехъ оконъ не стояли банки съ разными цвѣтами. Стѣны были просто обѣлены; около нихъ стояли стулья съ рѣшетками; посрединѣ комнаты стоялъ круглый столъ, покрытый вязаною бѣлою скатертью; въ переднемъ углу, подъ большими кіотами въ серебряныхъ позолоченныхъ окладахъ, стоялъ мраморный столъ, на которомъ находился маленькій образъ съ золотымъ окладомъ и лежали библія, требникъ и псалтирь, такъ какъ въ этой залѣ регулярно каждое утро, передъ обѣдомъ, ужиномъ и послѣ нихъ, а также передъ сномъ, все наличное семейство Яковлева должно было справлять молитвы по очереди, то-есть по требнику и псалтирю долженъ былъ читать кто-нибудь изъ дѣтей опредѣленное число молитвъ. Зала повидимому находилась въ серединѣ дома, такъ какъ по правую и по лѣвую его сторону были двери, изъ коихъ первая была отперта, а другая заперта, и отъ одной до другой двери черезъ всю залу на крашенномъ желтою, отчасти уже стершеюся краскою полу былъ постланъ въ полъаршина ширины зеленый коверъ.

Изъ гостей больше всѣхъ выдавался протопопъ Сергѣй Иванычъ Третьяковъ, отецъ умершей второй жены Яковлева. Онъ высокъ, худощавъ, съ большою лысиною, которую обрамливаютъ коротенькіе, рѣдкіе пучки сѣдыхъ волосъ; эти волосы, вмѣстѣ съ коротенькою, рѣдкою сѣдою бородою, придаютъ лицу еще болѣе бѣлизны и затемняютъ совсѣмъ отцвѣтшіе, когда-то каріе глаза. Въ его лицѣ, улыбкѣ и глазахъ замѣтна простота и добродушіе. Онъ часто кашляетъ, говоритъ охриплымъ голосомъ и когда открываетъ ротъ, то въ немъ, вмѣсто зубовъ, видятся однѣ только пожелтѣвшія десны; голова немножко трясется. Онъ очень любитъ вступать въ споры, не любитъ никому уступать и сердится, если кто-нибудь не представитъ фактовъ, а говоритъ

только по убѣжденію. У него на головѣ малиноваго плиса камилавка, которая уже давнымъ давно отцвѣла, такъ какъ онъ получилъ ее уже годовъ двадцать тому назадъ и съ тѣхъ поръ носитъ только въ экстренныхъ случаяхъ,—въ другіе же дни надѣваетъ простую шляпу. На немъ черная плисовая ряса, надѣваемая тоже въ экстренныхъ случаяхъ. Въ дополненіе къ этому надо прибавить, что онъ держитъ въ рукахъ толстую дубоваго дерева трость, оправленную подъ лакъ съ крючкомъ вмѣсто набалдашника. Безъ этой трости онъ не ходитъ никуда: она для него единственный другъ, она для него страсть, какъ табакъ, собака и т. п. Онъ имѣетъ семьдесятъ лѣтъ отъ роду, состоитъ за штатомъ, вдовъ, дѣтей не имѣетъ.

Другая личность, менѣе обращающая на себя вниманіе, это Осипъ Флорычъ Зиновьевъ, отецъ теперешней жены Яковлева—Марины Осиповны. Онъ высокъ ростомъ, очень толстъ, съ одутловатымъ, жирно-краснымъ лицомъ, точно испытывающимъ цѣлые дни холодъ. Борода и волосы у него черные, лоснящіеся, глаза плутовато-хитрые; вообще во всей его фигурѣ проглядываетъ мѣщанинъ-гостинодворецъ. Онъ считается въ городѣ первымъ купцомъ, и хотя платитъ только вторую гильдію, но по капиталу и по каверзамъ, творимымъ имъ, могъ бы смѣло записаться въ первую. Въ настоящее время онъ занимаетъ въ городѣ должность городского головы и состоитъ старостой въ Богородицкой церкви. Одѣтъ онъ въ длиннополый сюртукъ съ двумя рядами свѣтлыхъ пуговицъ и съ медалью на шеѣ. Сидитъ рядомъ съ протопопомъ Третьяковымъ, развалившись на стулѣ, и постоянно обращается только къ нему и къ хозяину, на другихъ же смотритъ свысока и отвѣчаетъ нехотя, какъ будто стараясь показать, что онъ человѣкъ имъ не парный, и если говоритъ съ ними, то единственно изъ расположенія къ хозяину, своему зятю, къ которому онъ пожалуй тоже не очень-то много имѣетъ уваженія.

Напротивъ протопопа, по другую сторону стола, сидѣлъ Осипъ Андреичъ Яковлевъ, старшій сынъ хозяина, становой приставъ перваго стана Ильинскаго уѣзда, плотный, высокій и краснощекій молодой человѣкъ съ длинными черными волосами, густыми усами и съ голубыми глазами. Въ его движеніяхъ замѣчается вертлявость, доходящая до того, что онъ не прочь и пофиглярничать; иногда онъ глядитъ по-кошачьи, но не бросается на противника, а встряхиваетъ волоса и съ взглядомъ, выражающимъ затаенную злобу, отворачивается, вздыхаетъ и вновь старается придать глазамъ невозмутимое спокойствіе. Это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые долго помнятъ нанесенное имъ оскорбленіе, за что его не любили какъ товарищи по училищу, такъ и сослуживцы, и даже недолюбливало начальство, видѣвшее въ немъ заносчиваго человѣка, нерѣдко обращавшагося со своими жалобами, помимо ближайшаго начальства, прямо къ губернатору, который, считая себя прогрессистомъ, любилъ молодыхъ чиновниковъ съ новымъ направленіемъ, но безъ вольнодумства. Вообще онъ былъ на хорошемъ счету, какъ полицейскій дѣятель, скоро раскрывавшій слѣдствія, и хотя съ введеніемъ судебныхъ слѣдователей дѣла у него поубавилось, но работы все-таки было много, такъ какъ съ освобожденіемъ крестьянъ ему приходилось играть роль исполнительнаго и усмирительнаго полицейскаго дѣятеля. Впрочемъ, въ крестьянскомъ кругу его не считали варваромъ, потому что онъ на крестьянъ кричалъ въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, не дрался, какъ дрались его товарищи, не пьянствовалъ, а былъ со всѣми вѣжливъ, хотя и принималъ подчасъ довольно крутыя мѣры; но крестьяне его не любили и несли ему въ подарки послѣднее свое состояніе, которое онъ, по новой модѣ, принималъ по настоятельной просьбѣ дарившаго.

Рядомъ съ нимъ сидѣлъ Викторъ Осипычъ, сынъ Зиновьева, только что записавшійся въ купцы молодой съ блѣдноистощеннымъ лицомъ мужчина, узкими карими заспанными глазами, выражавшими апатичное состояніе и съ большими ушами, въ одномъ изъ которыхъ—правомъ—постоянно носитъ золотую сережку, похожую на кольцо. Онъ ведетъ себя очень смирно, тупо, съ разинутымъ ртомъ, смотритъ то на отца протопопа, то на сосѣда, то въ отворенную дверь, и если сосѣдъ обращается къ нему со словомъ, онъ разѣваетъ моментально ротъ, показываетъ два ряда почернѣвшихъ отъ табаку зубовъ и начинаетъ испуганно мигать глазами, и успокоится и приметъ прежнее положеніе только тогда, когда его оставятъ. Однако, сосѣдъ его, Осипъ Андреичъ, выросшій и даже учившійся съ нимъ до второго класса уѣзднаго училища, да и самъ батюшка, Осипъ Флорычъ, знаютъ его не такимъ. При отцѣ и у родни онъ держитъ себя смирнѣе агнца, скоро хмелѣетъ до того, что его незамѣтно отъ родителя или отъ хозяина уводятъ спать, не играетъ въ карты и вообще ведетъ себя, какъ неопытный мальчикъ (ему 21 годъ); но нужно увидать его за Волгой. Ужъ не тотъ тамъ Викторъ Осипычъ! И откуда тамъ появляется тогда разной молодежи—мѣщанъ, купеческихъ сынковъ и чиновниковъ съ молодыми женщинами сомнительной наружности и легкаго поведенія. Пьянство идетъ страшное, орутъ пѣсни, безобразничаютъ, и стоитъ въ это время горожанину выйти на берегъ, чтобы сказать: «а, это Витька съ цѣпи сорвался!» Однако, удовольствія эти ему помнились долго, потому что родитель, несмотря на совершеннолѣтіе, подвергалъ его въ своей конюшнѣ тѣлесному наказанію. Въ городѣ Виктора Осиповича считали за погибшаго человѣка, забитаго; дѣвицы считали его необразованнымъ за то, что онъ не умѣлъ по-свѣтски разговаривать, и отзывались объ немъ, что у него *моченое* лицо.

По другую сторону Зиновьева, за другимъ столомъ, сидѣли уѣздный судья Алексѣй Николаевичъ Крюковъ, высокій, худощавый, съ впалыми бѣлыми щеками старикъ, съ остриженными подъ гребенку сѣдыми волосами. Взглядъ у него суровый, такъ что люди, видѣвшіе его въ первый разъ, называли его крысой, но люди, знающіе его ближе, отзываются объ немъ, какъ о самомъ добрѣйшемъ существѣ, боящемся даже убить муху, и удивляются, какимъ образомъ такой добрый человѣкъ можетъ подписывать приговоры подсудимымъ. При этомъ надо замѣтить, что судья уже нѣсколько лѣтъ глухъ на лѣвое ухо,

и потому въ разговорахъ постоянно поворачиваетъ къ говорящимъ съ нимъ правое ухо, накладывая за него правую ладонь. Вотъ почему и теперь онъ обращается больше въ сторону Зиновьева и протопопа, и рѣдко оборачивается въ сторону сидящихъ съ нимъ рядомъ по лѣвую руку казначея Викентья Мордарьича Чечелибухина и земскаго исправника Ильи Иваныча Давыдова, которые разговариваютъ большею частью другъ съ другомъ.

Изъ комнатъ по лѣвую сторону слышались женскіе голоса на разные тоны и чей-то охриплый мужской голосъ, вторившій имъ; по временамъ раздавался смѣхъ одной или двухъ женщинъ или всѣхъ разомъ. Хозяинъ и гости вели дружественную, но пустую бесѣду, иначе сказать—переливали изъ пустого въ порожнее.

— А у насъ въ уѣздѣ скоро будутъ двѣ новыя личности: мировой посредникъ и судебный слѣдователь,—говорилъ кто-то Осипу Андреичу.

— Гм!

— Что, нравится вамъ это?

— Мнѣ все равно... Конечно дѣла прибавится больше, потому что обоихъ придется наставлять,—самодовольно отвѣчалъ молодой Яковлевъ.

— А-а, не нравится!

— Много денегъ у казны—вотъ что! Къ чему эти слѣдователи?—не понимаю. Ну, посредникъ—дѣло другое,—проговорилъ старикъ Зиновьевъ.

— А почему посредники нужны по-вашему?

— Потому что они не даютъ помѣщикамъ много воли.

— А если я самъ помѣщикъ?

— Мнѣ что за дѣло?

— А если мнѣ это не по губѣ?

— Такъ вотъ я и испугался!

— Что вы на это скажете, Осипъ Андреичъ!—обратился исправникъ къ молодому Яковлеву.

Но въ это время въ залу вошелъ изъ другой комнаты въ сопровожденіи дочери Зиновьева, дѣвицы Анисьи Осиповны, и жены Осипа Андреича, Мареы Антоновны, пожилой, плотный мужчина съ большимъ животомъ, весьма выдающимся впередъ, съ карявымъ, загорѣлымъ отъ ѣзды лицомъ, въ форменномъ фракѣ съ такимъ же воротникомъ и пуговицами, какъ и у Андрея Ивановича, съ двумя крестами на шеѣ и пряжкою за XXX лѣтъ на фракѣ. Вся его фигура изобличала въ немъ жителя губернскаго города и человѣка, занимающаго важную должность. Онъ, покачиваясь на обѣ стороны, медленно шелъ въ сопровожденіи двухъ дамъ и кланяясь проговорилъ:

— Мое почтеніе, господа.

Гости встали, а Осипъ Андреичъ ушелъ въ прихожую. Дамы тоже раскланялись съ гостями и, вмѣстѣ съ важнымъ господиномъ, подошли подъ благословеніе къ протопопу. Оказалось, что этотъ господинъ былъ двоюродный братъ Андрея Иваныча, асессоръ ревизскаго отдѣленія казенной палаты, и пріѣхалъ сюда, подъ видомъ освидѣтельствованія торговли, отдохнуть недѣльку-другую у брата. Зовутъ его Ипполитъ Аполлоновичъ Яковлевъ.

Анисья Осиповна была бы очень красивая дѣвушка, если бы ея лицо не портили веснушки. Въ карихъ ея глазахъ замѣчалась пытливость, а въ манерахъ не было той застѣнчивости, какая замѣчается у многихъ дѣвушекъ ея лѣтъ; ей съ Рождества минуло только семнадцать. Ея волосы пепельнаго цвѣта были просто зачесаны и даже кой-гдѣ торчали и спалзывали, почему она должна была часто ихъ приглаживать руками; на ней было надѣто простенькое ситцевое платье палеваго цвѣта безъ всякихъ особыхъ украшеній; подъ платьемъ не было кринолина, а въ ушахъ она носила серебряныя легонькія сережки. Тѣмъ не менѣе, во всей ея фигурѣ было много хорошаго, такъ что можно было удивляться, какимъ это образомъ у такого родителя, какъ Осипъ Флорычъ Зиновьевъ, могла вырости такая дочь, если еще при этомъ брался въ соображеніе такой сынъ, какъ Викторъ Осипычъ. Этому обстоятельству въ Ильинскѣ всѣ дивились и единогласно рѣшили, что или отецъ лелѣетъ свою капризную и своенравную дочь для того, чтобы выдать ее за какого-нибудь очень важнаго чиновника въ губернскій городъ, или дочь держитъ его въ рукахъ, такъ какъ самъ онъ частенько напивается до безчувствія, ссорится съ женой, отчего эта послѣдняя жалуется всѣмъ, что его вооружаетъ противъ нея дочь его отъ перваго брака. На сколько все это вѣрно, читатель увидитъ дальше.

Совсѣмъ другое была Мареа Антоновна, женщина 24 лѣтъ. Она была высока ростомъ, полна, какъ здоровая содержательница постоялаго двора. Лицо у ней продолговатое, носъ, похожій на еврейскій, брови черныя, но глаза разные: правый—карій, а лѣвый—сѣрый, что сразу не замѣчалось, да и Осипъ Андреичъ, какъ онъ самъ говоритъ, узналъ объ этомъ уже тогда, когда объяснился съ ней въ любви и сталъ ее цѣловать. Волосы у нея густые, но къ нимъ на затылокъ, подъ сѣтку, она прибавляетъ еще комокъ фальшивыхъ волосъ для приданія себѣ большей красоты; съ этой же цѣлью она и лицо свое натираетъ мѣломъ. На ней надѣто шелковое съ длиннымъ шлейфомъ платье, и на ногахъ у ней шелковые сапожки. Она часто ужимается губами, какъ бы стараясь этимъ придать себѣ грацію, кокетливо встряхиваетъ головой и постоянно поправляетъ свое платье, оборачивая голову назадъ. Такъ и видна въ ней дама, привыкшая бывать въ кругу аристократовъ-поклонниковъ, любящая танцы, и вообще женщина, желающая всѣмъ нравиться.

Какъ женщина, выросшая въ губернскомъ городѣ и считающая себя губернской львицей, она съ шикомъ раскланялась съ гостями, подавъ каждому руку, и въ то же время взглянула на дверь въ прихожую, куда ушелъ ея супругъ; Анисья же Осиповна, поздоровавшись съ гостями, присѣла къ брату.

Исправникъ съ казначеемъ начали разсыпаться въ любезностяхъ съ бонтонною дамой. Началось опять переливанье изъ пустого въ порожнее.

— Ты, Осипъ, кажется, скоро заснешь?—спросила шутливо Анисья Осиповна брата.

— Скучно, сестричка,—отвѣтилъ тотъ тихо, но замѣтно было, что онъ очень обрадовался приходу сестры.

— А ты пройдись по комнатѣ. Да вонъ и хозяинъ въ прихожей.

— А вотъ новость-то,—сказалъ старикъ Яковлевъ:—я письмо получилъ и отгадайте, откуда?

— Отъ Даши?

— Нѣтъ.

И Андрей Иванычъ показалъ на конвертъ.

— Изъ монастыря,—сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Ужъ здорова ли?—вскричала Марѳа Антоновна.

— Прочитайте, папаша,—просилъ сынъ.

Андрей Иванычъ сталъ смотрѣть на конвертъ. Въ это время въ прихожую вошелъ давно ожидаемый протоіерей Григорій Ивановичъ Пьянковъ, толстый, низенькій, годовъ сорока мужчина съ широкимъ лицомъ, надменнымъ взглядомъ въ глазахъ, съ длинными, густыми черными волосами, въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ.

— Извините, ради Бога,—опоздалъ. Непріятное извѣстіе получилъ—дядя очень нездоровъ. Надо все сообразить и поскорѣе ѣхать,—проговорилъ Пьянковъ.

— Извините, что побезпокоили васъ,—извинялся хозяинъ.

— О, полноте! Малютка какъ... здоровъ?

— Да, да! Прикажите...

— Сдѣлайте одолженіе.

Андрей Иванычъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ началось крещеніе, въ которомъ дѣвочку назвали Анной.

III.

У русскихъ въ маленькихъ провинціальныхъ городкахъ ведется испоконъ вѣка обычай такого рода, что родители не присутствуютъ при крещеніи ребенка, даже крестящій ребенка священникъ выгоняетъ вонъ отца или мать, если они вздумаютъ за чѣмъ-нибудь войти въ ту комнату, гдѣ совершается таинство. Яковлевъ и его жена были люди религіозные, вполнѣ слѣдующіе этому обычаю, и потому все совершеніе таинства проводили въ другихъ комнатахъ. Впрочемъ имъ бы и не выстоять всѣхъ молитвъ, потому что нужно было приготовить для гостей закуску и обѣдъ. Поэтому Андрей Иванычъ пошелъ распоряжаться насчетъ закуски и обѣда, прогнавъ своихъ дѣтей для того, чтобы положить на зубокъ ребенку рублевую монету. Монеты эти, извѣстно, идутъ въ пользу повивальныхъ бабокъ. А семейство Яковлева было большое. Въ живыхъ у него было съ теперешнимъ ребенкомъ ровно десять, за исключеніемъ отсутствующихъ; теперь находилось на лицо, кромѣ Осипа, дочь Марья 21 года, сынъ Владиміръ 8 лѣтъ и дочь Евлампія 5 лѣтъ. По зову Андрея Иваныча, въ комнату вошли: Марья, дѣвица полная, краснощекая, одѣтая по настоящему случаю въ шелковое платье и вдѣвшая въ уши огромныя сережки; сынъ Владиміръ, мальчикъ болѣзненный, нелюбимый отцомъ, но о которомъ Марина Осиповна часто плакала, думая, что ея любимый сынокъ того и гляди что умретъ. За ними ушли въ залу двѣ старухи, пріятельницы Марины Осиповны, изъ коихъ одна была жена дьякона, а другая мать разорившагося купца, и жена Зиновьева, Вѣра Петровна, худощавая, съ болѣзненнымъ лицомъ тридцати лѣтъ женщина, въ косынкѣ на головѣ и въ китайской шали, надѣтой поверхъ люстриноваго платья.

— Никто еще не былъ?—спросилъ Яковлевъ Марью Андреевну.

— Нѣтъ,—отвѣчала она робко.

— А твой женихъ?

— Вы не посылали за нимъ.

— Вотъ мило! Что онъ за особа, чтобы мнѣ посылать къ нему гонцовъ!

Яковлевъ пошелъ въ столовую. Въ ней было два окна, три шкафа и два стола—одинъ, самый большой—круглый по серединѣ былъ накрытъ бѣлой скатертью и на немъ уже стояли бутылки съ водкой, наливками и виномъ, и разныя холодныя закуски; на другомъ столѣ, что у оконъ, стояла посуда. Сама хозяйка, высокая, толстая женщина, съ бойкими карими глазами, лѣтъ тридцати пяти, съ широкимъ лицомъ, не выражавшимъ ничего особеннаго и мало чѣмъ отличающимся отъ лицъ купеческихъ женъ или женъ чиновниковъ, которымъ не приходится много хлопотать о насущномъ хлѣбѣ. Но по лицу этому все-таки можно было заключить, что эта женщина назадъ тому годовъ десять или двѣнадцать была красивою,—то-есть красивою на столько, что могла влюбить въ себя мужчину своимъ румянцемъ щекъ, стыдливыми взглядами карихъ глазъ, кокетливо-мѣщанскими ужимками алыхъ губъ и большими косами черныхъ волосъ. Такова была хозяйка Марина Осиповна, одѣтая въ настоящую минуту въ шелковое голубое платье и въ кисейномъ чепчикѣ на головѣ. Она отдавала приказанія старухѣ-кухаркѣ и кучеру Трифону, на которомъ теперь былъ надѣтъ старый яковлевскій сюртукъ, манишка, галстухъ и драповыя брюки. Кухарка перетирала посуду, а Трифонъ разставлялъ тарелки по столу.

— Все ли готово?—спросилъ жену Яковлевъ.

— Все. А ты этому пьянчужкѣ Родіонкѣ откажи. Сказала я ему, чтобы пришелъ,—его и нѣтъ. Вѣроятно онъ у тебя укралъ вина,—проговорила недовольно жена.

— Гм! Бестія... Ну, какъ-нибудь... Пошевеливайтесь.

— Тебѣ бы все сейчасъ.

— Ну-ну.

И Андрей Иванычъ, откупоривъ одну бутылку, налилъ рюмку наливки и подошелъ къ женѣ.

— Ну, поздравляю, Маня!

Супруги поцѣловались; затѣмъ Андрей Иванычъ выпилъ.

— Отчего ты не пригласилъ Павлова?

— Куда же ему... еще дядя обидится. Мы его позовемъ вечеромъ.

— А я сегодня дьячка славно огрѣлъ...—началъ было кучеръ, но въ это время вошелъ письмоводитель Андрея Иваныча, Родіонъ Савичъ Дементьевъ, въ рваномъ, запачканномъ грязью сюртукѣ и съ раскраснѣвшимся отъ водки лицомъ. Хотя онъ и старался держаться на ногахъ крѣпко, но его пошатывало. Кучеръ захохоталъ, Марина Осиповна сдѣлалась блѣднѣе, точно приходъ его былъ для нея ка-

кимъ-нибудь несчастіемъ; Андрей же Иванычъ съ усмѣшкой глядѣлъ на Родіона.

— Ну, зачѣмъ ты пришелъ, бестыжіе твои глаза!—напустился на Родіона Трифонъ.

— Не твое дѣло... Андрей Иванычъ... Я точно-что маленько... а я ей-Богу не пьянъ, — началъ несвязно Родіонъ.

— Не пьянъ! Ха-ха! А въ полицію хочешь?— сказалъ Андрей Иванычъ.

— Ужъ для такого-то праздника...

— Отправь ты его ради Христа въ полицію,— сказала Марина Осиповна.

— Покорно благодарю... Это значитъ за всѣ услуги...

— Вотъ еще...

— Постойте, Марина Осиповна!.. Я теперича называюсь письмоводитель, а прилично ли мнѣ сапоги чистить, бѣлье кухаркѣ колотить на рѣкѣ? Это какъ?

— Молчать!—и Андрей Иванычъ ударилъ Родіонова по щекѣ. Родіоновъ отшатнулся.

— Ты, каналья, еще вздумалъ грубить и въ моихъ глазахъ!.. Я тебѣ что̀ говорилъ сегодня утромъ?.. А? чтобы ты одѣлся почище и приходилъ помочь женѣ... А ты пьянъ! ты грубишь! Вонъ!!

— Простите великодушно!..

— Вонъ!! И не смѣй ко мнѣ показываться. Я уже много тебѣ прощалъ, а теперь ты осмѣлился при мнѣ наговорить дерзостей моей женѣ... Вонъ! чтобы духу твоего здѣсь не было,—говорилъ запыхавшись отъ злости Андрей Иванычъ. Щеки его покраснѣли.

— Пожалуйте мнѣ за полгода жалованье.

— Скажите, какой нахалъ! И это вы, Андрей Иванычъ, поблажаете. Пошелъ вонъ, негодяй! — кричала Марина Осиповна.

— У меня жена померла въ десять часовъ, вотъ я и пьянъ—сказалъ Дементьевъ.

— Врешь, врешь!—кричала Марина Осиповна, толкая Дементьева вонъ.

— Я бы тебя отправилъ въ полицію, да не съ кѣмъ,—кричалъ Андрей Иванычъ. Родіоновъ ушелъ, но Андрей Иванычъ нѣсколько минутъ пыхтѣлъ, топорщился у двери и обтиралъ лицо шелковымъ коричневаго цвѣта платкомъ.

— Экая пьяница! А я на него надѣялся... Дѣлать нечего, ты, Трифонъ, замѣни его мѣсто.

— А если у него въ самомъ дѣлѣ жена умерла?— сказалъ Трифонъ.

— Вретъ! не умерла, а онъ ее убилъ... Она постоянно приходила на него жаловаться, что онъ ее бьетъ... Ужъ онъ не укралъ ли у меня что-нибудь... А ты еще защищаешь его! О, охъ вы!!— говорила Марина Осиповна.

Въ это время въ столовую принесли окрещеннаго ребенка. За старухой-бабкой съ ребенкомъ шли: крестный отецъ ребенка, Ипполитъ Аполлоновичъ, крестная мать Марфа Антоновна, Марья Андреевна и Вѣра Петровна съ двумя старушками. Начались поздравленія; Андрей Иванычъ ушелъ въ залу. Тамъ Пьянковъ сидѣлъ между казначеемъ и Третьяковымъ.

— Да, думаю совсѣмъ убраться отсюда, и вы, Сергѣй Иванычъ, будете навѣрно рады моему отсутствію,—говорилъ Пьянковъ.

— Что̀ мнѣ радоваться: я старъ и давно самъ хотѣлъ на спокой, не пускали.

— Полно, старина!—началъ Пьянковъ.

— Пожалуйте! милости прошу!!—говорилъ хозяинъ съ улыбочкой.

— Полно вамъ грызтись-то изъ-за мѣста! — сказалъ исправникъ и повелъ Третьякова.

— Обидно...—проговорилъ Третьяковъ вполголоса.

— Терпѣть меня не можетъ. Не повѣрите ли: сколько онъ на меня доносилъ, писалъ,—говорилъ также вполголоса Пьянковъ казначею, который на это только развелъ руками.

Всѣ усѣлись по старшинству. Пьянковъ занялъ предсѣдательское мѣсто, такъ что по обѣ стороны его сидѣли—по правую Третьяковъ, потомъ самъ Андрей Иванычъ, казначей, по лѣвую—Ипполитъ Аполлоновичъ, судья и т. д.; дамы сѣли отдѣльно отъ мужчинъ и по старшинству; Марина Осиповна, какъ хозяйка, за столъ не сѣла, а распоряжалась и упрашивала ѣсть и пить; Трифонъ прислуживалъ.

Сначала обѣдъ шелъ неоживленно; говорили только Пьянковъ, Ипполитъ Аполлоновичъ и изрѣдка въ ихъ разговоры вставляли свои мнѣнія самъ хозяинъ, исправникъ и казначей; остальные же ѣли и пили, смотря съ подобострастіемъ то на Пьянкова, то на Ипполита Аполлоновича; хозяйка отвѣчала ужимкою только въ томъ случаѣ, когда кто-нибудь изъ старшихъ гостей обращался къ ней съ похвалой такому-то кушанью, при чемъ лицо ея прояснялось, и она самодовольно взглядывала на дамъ.

— А вы скоро намѣреваетесь уѣхать отсюда?— спросилъ Пьянковъ Ипполита Аполлоновича.

— Да думаю завтра утромъ.

— Полно вамъ, братецъ. Вы и недѣльки не гостили у насъ,—сказала Марина Осиповна.

— Скучновато здѣсь,—сказалъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Ну, я думаю, скука-то вездѣ одинакова—что̀ здѣсь, то и въ губернскомъ,—сказалъ исправникъ.

— А я съ вами несогласна: въ губернскомъ вечера, танцы... какое общество!—вступилась Марѳа Антоновна.

— Я не участвую-съ на подобныхъ вечерахъ; не по карману.

— Ну, полноте, дяденька; вы теперь скоро будете совѣтникомъ и вамъ необходимо будетъ нужно бывать въ дворянскомъ собраніи.

— Ужъ нѣтъ: я старой привычки не перемѣню. То ли дѣло въ своей компаніи съ купцами или съ духовными. Меня владыка очень любитъ; я не одного семинариста попомъ сдѣлалъ.

— Да, я знаю... Мнѣ очень пріятно. Отецъ Стефанъ, кажется, получилъ крестъ, — отвѣчалъ Пьянковъ.

— Да, это очень умный молодой человѣкъ. Въ его года, а ему кажется двадцать седьмой, рѣдкіе бываютъ инспекторами семинарій, по крайней мѣрѣ нашей.

— Одно въ немъ, дяденька, скверно: говорятъ, большой драчунъ,—сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Что жъ, по-твоему такъ и спускать... По твоему пусть мальчишки хоть на головахъ ходятъ... А, ты еще не знаешь, каковы эти семинаристы. А ихъ у зятя по крайней мѣрѣ семьсотъ человѣкъ.

— Строгость необходима, я съ вами согласенъ. Вы посмотрѣли бы, какой у меня въ уѣздномъ училищѣ ведется порядокъ!—проговорилъ Пьянковъ.

— Ну, это еще доказываетъ только, что мальчики такихъ строгихъ людей никогда не любятъ,—проговорилъ въ свою очередь Третьяковъ.

— А-а! Задѣли стариковское самолюбіе!—сказалъ исправникъ.

— Мальчишекъ надо драть,—крикнулъ Зиновьевъ.

— Я не отрицаю, но только полегонечку, въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда уже никакія мѣры не дѣйствуютъ, — защищалъ свою систему Третьяковъ.

— Позвольте спросить, какія это мѣры?—спросилъ Пьянковъ.

— Самыя легкія; у меня, во время завѣдыванія училищемъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ, кажется только двое были наказаны, и то не болѣе пяти ударовъ, а между тѣмъ другіе учителя только и дѣлали, что сѣкли.

— Дѣдушка очень простыя употреблялъ вещи. Напримѣръ, спроситъ урокъ, и если урокъ не знаетъ мальчикъ прилежный, онъ на первый разъ велитъ ему встать съ книгой въ уголъ къ печкѣ, во второй поставитъ къ печкѣ на колѣни, а въ третій подзоветъ самаго лѣниваго ученика, который живетъ во враждѣ съ прилежнымъ ученикомъ, да и заставитъ ученика теребить за уши прилежнаго,—хвастался Осипъ Андреичъ.

— Я думаю, такая система, напротивъ, вселяетъ раздоръ между воспитанниками,—сказалъ Пьянковъ.

— Напротивъ: прилежный ученикъ послѣ такого срама становился отличнымъ ученикомъ, потому что его конфузили товарищи, и даже примирялся со своимъ врагомъ... Вообще у меня мальчики учились хорошо; не было такой распущенности,—сказалъ Третьяковъ.

— А вы думаете, что у меня обучаются плохо?—вступился Пьянковъ.

Хозяинъ пригласилъ гостей выпить; заговорили о посредникахъ.

— Я думаю, по крестьянскому присутствію хорошая служба?—началъ казначей.

— Не знаю. Я слышалъ только одно, что эти люди только понапрасну бумагу переводятъ, и знаю, что въ уѣздахъ торговля находится въ плохомъ состояніи, на томъ основаніи, что многихъ крестьянъ разорили, а маклаки стараются выжать все даромъ. Я вотъ и здѣсь замѣтилъ, что нынче уже не крестьяне продаютъ на рынкѣ муку, масло и яйца, а прасолы, городскіе мѣщане,—проговорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Все это происходитъ отъ лѣности,—сказалъ Пьянковъ.

Нѣтъ, не отъ лѣности, а оттого, что крестьяне поставлены между двухъ огней: между помѣщикомъ и посредникомъ,—горячился асессоръ.

— И находятся попрежнему въ рукахъ становыхъ приставовъ. Впрочемъ я не такъ выразился: безъ насъ они ни шагу!—вклеилъ отъ себя Осипъ Андреичъ.

— Васъ, молодой человѣкъ, не спрашиваютъ,—сказалъ асессоръ.—Я говорю про себя. Мои крестьяне, т. е. не мои, а моей жены, да это все равно, вотъ посмотрите, какъ они живутъ. Да они говорятъ: батюшко Ипполитъ Аполлоновичъ! Намъ никакой воли не надо: мы у тебя какъ у Христа за пазухой живемъ,—ей-Богу! Ну, говорю, ступайте, молодцы, на волю, уходите прочь. Ха-ха-ха!—куда! Въ ногахъ валяются,—только оставь! я только тѣмъ и пугаю, что говорю: ступай прочь!

— Это ужъ черезчуръ строго: куда же онъ дѣнется безъ всего и съ семьей?—сказалъ Третьяковъ.

— Смиренствомъ тутъ ничего не подѣлаешь. Вотъ они и боятся. И если имъ что-нибудь скажетъ посредникъ, они посылаютъ ко мнѣ старосту; я пишу посреднику—такъ и такъ, молъ; а если что, молъ, не по-моему, такъ я отцу твоему пожалуюсь, а не то и губернатору.

— А что, дяденька, смирны ваши крестьяне?—спросилъ Осипъ Андреичъ.

— Смирны, какъ агнцы.

— А не бунтуютъ, какъ у насъ?

— Смѣютъ! Да я имъ всю шкуру спущу. Пардонъ!—извинился асессоръ передъ дамами и продолжалъ:—былъ у меня одинъ мужиченко, невзрачный такой, лѣнтяй. Я бы его давно сдалъ въ солдаты, если бы онъ былъ помоложе и не хромой. Ну, вотъ онъ недѣли съ три тому назадъ и давай мутить мужиковъ, что-де имъ по положенію слѣдуетъ та же земля, которою они раньше пользовались. Тѣ и развѣсили уши: смекнули, что новую землю нужно облаживать, а прежняя немного требуетъ ухода, ну и послали ко мнѣ старосту. Я старосту прогналъ, они посреднику жалобу; тотъ пишетъ: нельзя ли сдѣлать съ крестьянами какое-нибудь соглашеніе? Я и разузнай: кто это мутитъ, и приказалъ посреднику наказать мужичонка розгами. А тотъ, что бы вы думали, пишетъ: не имѣю правъ. Вотъ они каковы посредники! Терпѣть я ихъ не могу! Мальчишки, забіяки...

Стали пить вмѣсто шампанскаго шипучую наливку; пошли поздравленія.

— И я тоже не особенно ими доволенъ, хотя у меня сынъ тоже мировымъ посредникомъ служитъ въ сосѣдней губерніи,—началъ исправникъ.—А именно: въ одной деревнѣ сгорѣло восемь дворовъ: говорятъ, былъ поджогъ. Ну, конечно пріѣхалъ я производить слѣдствіе, потому что у насъ тамъ судебнаго слѣдователя еще не было. Вотъ посредникъ и дѣлаетъ мнѣ предложеніе, чтобы я въ каждой деревнѣ завелъ пожарную команду. Ну, не дуракъ ли! Да, по-моему, хоть всѣ деревни сгори—все равно.

— Не горячитесь: безъ хлѣба останетесь,—сказалъ Третьяковъ.

— О, батюшка! Были бы деньги—хлѣбъ найдется.

— А бѣдные люди какъ жить будутъ?

— Будутъ работать.

— А если работы не хватитъ?

— Хватитъ.

— Вижу: изъ пустого въ порожнее вы переливаете. Извините, от. Сергій, а я выпью водочки,— сказалъ сердито Зиновьевъ.

Пьянковъ всталъ, за нимъ встали и остальные.

Немного погодя, Пьянковъ и Третьяковъ распрощались съ хозяевами и уѣхали. Третьяковъ обѣщалъ пріѣхать вечеркомъ съ племянницей.

— Ну, Андрей, гдѣ ты меня уложишь спать? Въ саду, что ли?—сказалъ хозяину Зиновьевъ.

— Да и я тоже: послѣ обѣда всегда отдыхаю,— прибавилъ ассессоръ.

— А мы въ карты,—сказали исправникъ и казначей.

Черезъ четверть часа Зиновьевъ ушелъ спать въ садъ въ бесѣдку, асессоръ ушелъ въ кабинетъ Андрея Иваныча, а остальные гости пошли играть въ палисадникъ.

Андрей Иванычъ былъ очень веселъ, потому что имъ остался доволенъ двоюродный братъ, а это много значитъ. Онъ пошелъ къ женѣ, которая, сидя въ одной изъ комнатъ, кушала. Рядомъ съ ней сидѣла худощавая красивая кормилица и кормила грудью ребенка, а за столомъ сидѣли маленькія дѣти, которыя ежеминутно баловали и заботились не объ ѣдѣ, а о томъ, какъ бы поскорѣе удрать на дворъ.

— А гдѣ тѣ?—спросилъ Андрей Иванычъ.

— Старухи ушли домой, а молодыя ушли въ садъ играть въ дурачки.

— Отчего это Раиса Сазоновна и другіе не пришли?

— Я почемъ знаю! Да и лучше.

— Да какъ? Вѣдь ихъ звали. Вотъ и этотъ скотъ, Павловъ.

— Онъ казначея не любитъ. Надо ужо послать за нимъ.

— Не нужно... Ахъ, я и забылъ совсѣмъ... Я письмо получилъ изъ Сокола, кажется, изъ монастыря.

— Опять, поди, Дарья на тетку жалуется.

— Посмотримъ, только почеркъ-то не ея... Ужъ здорова ли?

Андрей Иванычъ сталъ читать письмо. Еще не дочиталъ онъ и страницы, какъ лицо его омрачилось.

— Вотъ новость-то!— проговорилъ онъ.

Въ комнату вошли Марья Андреевна съ братомъ Осипомъ и его женой съ одной стороны и кухарка и дворникъ—съ другой.

— Ахъ, я и забылъ спросить о письмѣ!—сказалъ Осипъ Андреичъ.

Андрей Иванычъ дочиталъ письмо и медленно свернулъ его. Онъ теръ лобъ правой рукой и что-то обдумывалъ, а Марина Осиповна выдернула у него письмо и стала читать.

— Скажите, какая дерзость: ушла! И насъ не спросилась...—проговорила она съ досадой.

— Какъ? Дарья ушла—изъ монастыря?

— Убѣжала!—сказала Марина Осиповна такимъ тономъ, какъ будто падчерица ея сдѣлала убійство.

— Это мило!—растянула Марѳа Антоновна.

— Ну-съ, это дѣло васъ не касается! Идите себѣ... играйте. А вы чего тутъ торчите?—накинулся старикъ Яковлевъ на дворника и кухарку, которые и не замедлили уйти. Остальные, кромѣ Марьи Андреевны, которая стояла съ разинутымъ ртомъ и испуганно глядѣла на родителей, приняли эту новость горячо.

— Ну, гдѣ же она теперь? — спросилъ Осипъ Андреичъ.

— Вѣдь это ужасно!—проговорила Марина Осиповна и всплеснула руками.

Въ комнату вошелъ Ипполитъ Аполлоновичъ въ халатѣ и туфляхъ.

— Извините... Я пришелъ воды попросить... Что у васъ за совѣтъ?

Андрей Иванычъ сдѣлалъ плачевное лицо, и взглядывая то на жену, то на сына, кривлялъ глазами.

— Такъ, дяденька, собрались... по-семейному,—отвѣчалъ за всѣхъ Осипъ Андреичъ.

— А я вотъ легъ спать, да что-то сегодня не могу заснуть—видно, много поѣлъ гуся. Я гусей ѣмъ въ рѣдкихъ случаяхъ, ну да впрочемъ завтра поѣду, такъ протрясусь.

Асессора стали упрашивать, чтобы онъ остался.

— Ну, не знаю. Скучно здѣсь... Я вотъ люблю послѣ обѣда немножко газетами поразвлечься— у насъ въ палатѣ чиновники всякія газеты выписываютъ; ну, такъ я и пользуюсь на даровщинку. А кстати ты, Андрей, письмо, кажется, получилъ отъ настоятельницы!..

Андрей Иванычъ молчалъ; остальные тоже затруднялись, что отвѣчать.

— Не желаете ли вы по саду прогуляться— сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Ахъ, пойдемте, дяденька!—сказала Марѳа Антоновна и вцѣпилась въ асессора.

— Съ удовольствіемъ бы съ вами пошелъ, да боюсь: я ревматизмомъ страдаю. Ну, что, здорова ли Даша?

— Здорова,—отвѣтилъ Андрей Иванычъ.

— Лѣтомъ сбирается къ намъ?

— Она уже уѣхала,—сказала Марина Осиповна.

— Вотъ какъ. А, да вотъ и письмо. Позвольте мнѣ прочитать... Я очень люблю читать письма отъ духовныхъ, хотя и не особенно уважаю женскіе монастыри.

— Я вамъ долженъ сообщить кое-что,—сказалъ Андрей Иванычъ, и взявъ письмо пригласилъ идти за собой асессора;за нимъ пошла и Марина Осиповна.

— Непріятныя извѣстія,—сказалъ Андрей Иванычъ асессору, когда они вошли въ кабинетъ, съ большимъ письменнымъ столомъ между двухъ оконъ, съ широкими двумя диванами у стѣнъ, съ четырьмя креслами и съ картинами изъ «Художественнаго Листка», изображающими сцены изъ севастопольской кампаніи.

— Что, нездорова Даша?

— Здорова, но... вотъ прочитайте.

Асессоръ прочиталъ письмо спокойно два раза, сѣлъ къ столу и, вѣроятно вообразивъ, что онъ прочиталъ дѣловую бумагу, замѣтилъ на немъ число, мѣсяцъ и годъ полученія, и потомъ обернулся, какъ будто бы за справками: въ какомъ положеніи находилось до сихъ поръ дѣло по этому предмету.

— Ну-съ? — сказалъ онъ и сталъ сурово смотрѣть то на самого Яковлева, то на свою жену.

— Ума не приложу!—отвѣчалъ Андрей Иванычъ.

— Она постоянно была взбалмошная, сумасшедшая,—сказала Марина Осиповна.

— Отчего вы ее мнѣ не отдали на воспитаніе, когда ее не любите? — сказалъ асессоръ Маринѣ Осиповнѣ.

— Да помилуйте, она вамъ покою не дастъ.

— Напротивъ, она у меня гащивала по мѣсяцамъ, и я всегда ее находилъ дѣвочкой послушной, прилежной и очень смирной... Да, я такъ и зналъ, что она не уживется въ монастырѣ. Но вотъ въ чемъ дѣло: въ письмѣ сказано, что она исчезла изъ монастыря такого-то числа, а съ этого времени прошла уже недѣля.

— Можетъ-быть, она у Кузьмы и Платоновыхъ.

— Очень нужно Платоновымъ содержать дѣвицу на возрастѣ. Они и такъ тяготятся Кузьмой, жалѣютъ ему куска мяса, хоть онъ у нихъ все равно что письмоводитель или слуга какой-нибудь. Можетъ-быть, она теперь у меня, и хорошо бы было, если бы она была у меня: ужъ я бы ее не пустилъ къ вамъ. Кстати, у меня и женихъ есть. Но вотъ что странно, — настоятельница пишетъ: за нею и прежде сего водились пороки, и поставлены точки. Чортъ ихъ знаетъ, къ чему они ставятъ это многоточіе? Что они хотятъ сказать этимъ? Вѣдь она второй годъ живетъ тамъ?

— Да.

— Ну, и къ чему было посылать ее туда! Будто, вы сами не могли ее обучить чему-нибудь? Рукодѣльницу, что ли, вы хотѣли изъ нея сдѣлать? Она, когда была у меня, отличную связала скатерть моей женѣ. Пѣвицу? Она и такъ хорошій голосъ имѣетъ и какъ, бывало, запоетъ «За рѣкой на горѣ»—заслушаешься. Нравственности, что ли, вы ей хотѣли больше придать, такъ ужъ дѣло плохое, коли вы своихъ дѣтей не умѣете воспитать по закону Божію и посылаете въ чужія моря. Хотѣлось бы мнѣ ее увидѣть: поди, похудѣла, перемѣнилась... Э-эхъ, вы!

— Но, братецъ, вѣдь вы сами совѣтовали отдать ее въ монастырь,—сказала Марина Осиповна.

— Когда?

— Помните, какъ она у васъ гостила въ послѣднее время. Вы говорили еще тогда: какая она богомольная; постоянно въ крестовую церковь ходитъ, дома поетъ божественное, какъ архіерейскій пѣвчій, хвалили ее за рукодѣлье. Вотъ вы и одобрили тогда мою мысль отдать ее въ монастырь.

— Я смѣялся, шутилъ, а вы приняли серьезно... Вы знаете, что я всегда былъ вами недоволенъ за это. Знаете вы это?

Супруги молчали.

— А что вы думаете, если она испортилась?

— Боже сохрани!

— Вотъ теперь такъ Боже сохрани. Завтра же уѣзжаю!

Кое-какъ асессора уговорили пожить еще дня съ три, и уговорили съ тѣмъ, что если завтра отъ Дарьи не получится письма и она не пріѣдетъ сама, то, значитъ, она въ дорогѣ и пріѣдетъ на третій день; если же и на третій день ея не будетъ, то она, вѣроятно, находится у асессора, и послѣ завтра отъ нея получится письмо. Но Яковлевы были сильно встревожены поступкомъ дочери; слова асессора казались имъ даже черезчуръ непріятными, и когда они вышли изъ кабинета въ другую пустую комнату, то между ними начался непріятный разговоръ.

— Всему этому ты виновата!—кричалъ Андрей Иванычъ.

— Покорно благодарю! Скажите, чѣмъ это?

— Тѣмъ, что старалась сбыть ее съ рукъ, а вотъ теперь что выходитъ. Она теперь, поди, гдѣ-нибудь голодомъ сидитъ, или умираетъ...

— Не безпокойтесь, не умретъ. Ужъ коли она испортилась...

— Молчать!.. Я отецъ ей, — крикнулъ Андрей Иванычъ.

— Да развѣ я гнала ее изъ дому?

— Ты. Кто все твердилъ: надо ее въ монастырь послать къ теткѣ. А зачѣмъ? Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы она на глазахъ не терлась. Да скажи мнѣ, ради Христа: много ли твой отецъ далъ за тобой! скотина!.. Слава тебѣ Господи, я уже имѣю одного сына становымъ приставомъ, одна дочь замужемъ тоже за приставомъ...

— Очень я испугалась вашихъ ругательствъ! Припомните-ка, не вы ли говорили: теперь меня уволили изъ стряпчихъ, того и гляди отдадутъ подъ судъ, вѣдь вы кое-какъ и то съ помощью вашего братца попали въ винные пристава и вчера получили бумагу...

Андрей Иванычъ махнулъ рукой, сѣлъ на стулъ и закрылъ лицо руками.

— Дуракъ, такъ дуракъ и есть: Даша дѣвушка красивая, мы ее выдадимъ замужъ, благо, жениховъ много у насъ въ городѣ.

— Да! легко сказать—выдать. А за кого? За какого-нибудь пьянчужку, мѣщанина...

— А Павловъ развѣ не пьяница?.. Сами же вы нашли Марьѣ женишка. А вотъ онъ какой почтительный, и на крестины не пришелъ!..

Андрей Иванычъ всталъ, прошелся молча раза четыре по комнатѣ, подошелъ къ окну, взглянулъ въ него. Въ бесѣдкѣ играютъ въ карты исправникъ, казначей, судья и Осипъ Андреевичъ; Марья Андреевна и Мареа Антоновна смотрятъ на нихъ; недалеко отъ нихъ бѣгаютъ въ лошади дѣти; на дворѣ бродятъ куры, въ помойной ямѣ роется свинья, около нея хрюкаютъ маленькіе поросята. Кучеръ Трифонъ стоитъ за воротами и шепчется съ какою-то женщиной.

— Не во время гость хуже татарина,—проговорилъ Андрей Иванычъ, отходя отъ окна.

— А для чего было звать?

— Да будьте вы прокляты!.. Сейчасъ поѣду рыбу ловить.

— Андрей Иванычъ! Да въ своемъ ли вы умѣ? Сами зазвали гостей; вечеромъ соберутся казначейша съ исправничихой и дочерями, скрипачи и еще кое-кто, а вы бѣжать... Подумайте, что про насъ говорить станутъ, да и папенька осердится.

— Я поѣду купаться.

— Вотъ выдумали! Простудиться вамъ хочется, что ли? Пошли въ баню—облейтесь.

— По крайней мѣрѣ, помру скорѣе.

— Покорно благодарю! Ишь выдумали... Чѣмъ я буду содержать вашихъ дѣтей?

— А-а! чортъ съ вами!—сказалъ Андрей Иванычъ, махнувъ рукой, и ушелъ въ палисадникъ.

Гости уже знали, что скоро къ Андрею Иванычу пріѣдетъ изъ монастыря дочь Дарья, и поэтому выразили ему свою радость, что скоро увидятъ ее, а добрый отецъ на радостяхъ угоститъ ихъ пирогомъ. По ихъ просьбѣ Андрей Иванычъ пришелъ къ нимъ, но игралъ разсѣянно вплоть до самаго вечера.

Описывать вечеръ не стоитъ. На немъ, кромѣ упомянутыхъ выше лицъ, были: жена казначея Раиса Сазоновна, пять дочерей исправника, изъ коихъ самой младшей было восемнадцать лѣтъ, а старшей тридцать одинъ годъ, дѣвицъ некрасивыхъ, чахоточныхъ, секретарь и засѣдатель уѣзднаго суда, инвалидный начальникъ, смотритель училища съ двумя учителями и два скрипача, которые съ девяти часовъ пилили на своихъ скрипкахъ. Подъ эту музыку въ залѣ происходили танцы. Больше всѣхъ былъ веселъ, повидимому, асессоръ, который то и дѣло танцовалъ съ Мареой Антоновной, расточая ей любезности и цѣлуя у ней руку послѣ каждаго танца, такъ что хозяева какъ-будто забыли на время свое горе, и подходя къ играющимъ въ карты, говорили, что дяденька совсѣмъ отбилъ отъ нихъ Осипа жену.

— Ну, и вашъ-то Осипъ тоже не промахъ: съ казначейшей танцуетъ,—отвѣчала одна изъ дочерей исправника, какъ бы съ досадой.

Ровно въ два часа гости разъѣхались, а Андрей Иванычъ, уложивши спать дядю, сына и всю семью, ушелъ тоже спать въ садъ, въ бесѣдку.

IV.

Дѣвушка, показавшаяся вскорѣ по отъѣздѣ отъ Яковлева гостей около будки, пошла по направленію къ Яковлевскому дому. Въ это время, въ половинѣ третьяго часа, ее хорошо было можно различить. Она была средняго роста, худощавая, съ блѣдными щеками, въ которыхъ очень ясно замѣчались ямочки, точно она или мало ѣстъ, или мало ходитъ и изнурена какою-нибудь тяжелою, непріятною работою; большіе голубые глаза глядѣли какъ-то задумчиво-сосредоточенно, съ какою-то въ то же время тревогою, а маленькія ноздри ея немножко неправильнаго носа часто расширялись, какъ-будто отъ тяжелыхъ вздоховъ; тонкія губы ея были сжаты какъ-то особенно, точь-въ-точь какъ это дѣлается многими, когда имъ нанесли какую-нибудь обиду и они, какъ говорится, скрѣпя сердце силятся перенести эту обиду молча. Но несмотря на это и на то, что изъ-подъ шляпки безпорядочно выпадали на невысокій и неширокій лобъ два-три пучка черныхъ волосъ, несмотря даже на насѣвшую на лицо пыль, лицо это было хотя и не очень красиво, но въ немъ не было не только ничего отталкивающаго, напротивъ, оно было привлекательно, такъ что глядя на него чувствовалась къ этой дѣвушкѣ невольная симпатія и какое-то участіе, словно она въ жизни перестрадала очень много и много видала людей. Она одѣта просто: на головѣ круглая черная плетеная шляпка, съ коротенькимъ черным вуалемъ, который теперь закинутъ на верхушку шляпки; поверхъ ея сѣренькаго съ клѣточками ситцеваго платья надѣтъ сѣрый бурнусъ, съ обшивками на карманахъ и обшлагахъ каменными гремушками; на ботинки надѣты кожаныя галоши, но онѣ мало спасаютъ отъ грязи, и ботинки уже посѣрѣли отъ нея.

Не всѣ еще караульщики ушли спать по домамъ. Едва дѣвушка прошла отъ будки пять домовъ и подошла къ углу, какъ съ лавочки, сдѣланной у завалинки, всталъ плотный мужчина въ старомъ замаранномъ известкой картузѣ, съ краснымъ лицомъ, узкими заспанными глазами, въ ваточной женской душегрѣйкѣ, покрытой ситцемъ (родъ шугайчика), въ толстыхъ изгребныхъ синихъ, запачканныхъ въ известкѣ, штанахъ и въ подобіи большихъ галошъ, образовавшихся изъ сапоговъ, отъ которыхъ обрѣзаны голенища. До сихъ поръ онъ сидѣлъ на лавкѣ дремля, а его сучковатая березовая палка и трещотка лежали около него, но разбуженный недавно проѣхавшими гостями Яковлева, онъ зѣвалъ, крестилъ ротъ, почесывался и угрюмо смотрѣлъ на покрывающійся пурпуромъ востокъ. Онъ медленно всталъ, потянулся, взялъ палку и трещотку и подошелъ къ дѣвушкѣ. Та посторонилась.

Мужчина пристально сталъ глядѣть на дѣвушку.

— А-а! Откуда изволили явиться, барышня?—проговорилъ онъ не то съ радостью, не то съ удивленіемъ.

— Здравствуйте, Миронъ Миронычъ!—сказала дѣвушка тоненькимъ серебристымъ голосомъ.—Здорова ли Настенька?

— О-охъ, Дарья Андревна!.. Померла прошлую зиму. Крещенской воды выпила — простудилась и померла. А вы, я слышалъ, будто въ монахини постриглись?

— Нѣтъ, я въ родѣ воспитанницы жила.

— Такъ. А то говорили, будто вы ужъ совсѣмъ съ собой порѣшили. Моя Наталья и теперь все ворчитъ на вашего батюшку... Не во гнѣвъ будь вамъ сказано, и родители-то ваши больно ужъ жестоко поступили съ вами.

— Здоровы ли они?

— Чего имъ дѣлается. Вонъ вчера у нихъ крестины были; всю ночь плясали. Отсюда было слышно, какъ у нихъ скрипки пиликали. Ребенку и шести недѣль нѣту, а они пляску. Страмъ. Для баловъ-то они ужъ теперь дѣтей пристроили внизъ, возлѣ кухни... А вы бы, Дарья Андревна, пошли ко мнѣ, уснули, а завтра къ нимъ; потому, тамъ теперь всѣ спятъ; у всѣхъ, поди, голова болитъ.

— Покорно благодарю... Я пойду внизъ; не буду тревожить старшихъ.

Дѣвушка поклонилась и пошла; мужчина постоялъ еще немного и ушелъ въ свой дворъ.

«Все такой же!», думала Дарья Андреевна. «А Настя-то! Ахъ, какъ жаль!.. Какіе мы съ ней пріятельницы были; сколько я отъ родныхъ изъ-за нея непріятностей имѣла: ты, говорили, дворянка, а она дочь мѣщанина, мужичка... Сколько бы я ей теперь

поразсказала всего, что я испытала въ это время... Что-то Иванъ подѣлываетъ?..»

Идетъ она и смотритъ на дома. Все такіе же; никакой перемѣны не замѣтно, только вотъ черемуха да рябина, кажется, подросли немного. И дома все знакомые; во многихъ она бывала, знаетъ, какъ тамъ люди до отъѣзда жили. Какъ-то они теперь живутъ? Вонъ въ этомъ домѣ, что направо, дѣвушку Катерину назадъ тому три года насильно выдали замужъ за пѣтуха, то-есть такого человѣка, котораго физіономія соотвѣтствовала этому названію: лицо корявое съ длиннымъ острымъ носомъ, съ рыжими, вѣчно сбитыми волосами; онъ и пьяница, и драчунъ. Молодая его жена съ годъ терпѣла побои мужа, потомъ стала отъ него бѣгать, красть, и когда сдѣлалось уже невтерпежъ, пошла къ ней совѣтоваться: ей хотѣлось убить или отравить мужа и только она, Дарья Андреевна удержала ее отъ этого, тѣмъ болѣе, что у нея былъ ребенокъ. Вонъ налѣво живетъ мѣщанинъ-конокрадъ, который уже нѣсколько разъ былъ подъ судомъ, но котораго постоянно выручалъ изъ бѣды его отецъ, бывши стряпчимъ, за то, что онъ шилъ ему сапоги.

Вотъ и родной домъ, гдѣ Дарья Андреевна родилась и выросла. Отъ воротъ къ серединѣ улицы и посреди ея замѣтны слѣды колесъ; ворота заперты; на скамеечкѣ у заплота никого нѣтъ; легкій вѣтерокъ шевелитъ листья на деревьяхъ, отчего они чуть-чуть шумятъ; гдѣ-то начинаютъ чирикать птички, откуда-то послышалось кваканье лягушки и замолкло... Тихо въ дому, тихо на площади, вокругъ которой насажены березы и въ серединѣ которой стоитъ невысокая и небольшая старинная церковь; лѣвѣе ея, сквозь верхушки березъ, виднѣется багровый полукругъ восходящаго солнца, обливающаго небо кверху и по сторонамъ ало-розовымъ цвѣтомъ... Дарья Андреевна пошла къ углу, обогнула его. Направо и налѣво отъ площади переулка не было, а направо на площадь выходили трехъ и двухъ-оконные старенькіе домишки съ заплотами, за которыми деревьевъ не виднѣлось; налѣво отъ дома Яковлева шелъ садъ треугольникомъ, такъ что правая сторона церкви была напротивъ сада, и какъ разъ противъ церковнаго крыльца изъ-подъ заплота сада вытекалъ маленькій ручеекъ, который текъ дальше по направленію алтаря церкви, и далѣе впадалъ въ небольшой прудъ. За церковью и за оврагами, которыхъ за прудомъ насчитывалось нѣсколько, строеній было уже мало, да и то большею частью новыя или недоконченныя. За этими постройками начинается городское кладбище. Дарья Андреевна, помолившись на церковь, подошла къ крайнимъ, ближнимъ къ саду окнамъ дома. Самое крайнее было завѣшено бѣлою занавѣскою, и такъ какъ она была коротка, то еще красною шалью; на окнѣ съ двойными рамами и съ черными рѣшетками стояли между занавѣсками бутылка безъ горлышка съ сальнымъ огаркомъ и возлѣ нея, какъ-будто бы улика неосторожности кого-то, стоялъ значительно покосившійся и сплющившійся оловянный подсвѣчникъ, два пузырька, щетка и клубокъ съ шерстью. Два другія окна, ближнія къ крыльцу, выходящему на площадь, были до половины замазаны, такъ-что сквозь стекла ничего не видно. Дверь крыльца съ черною круглою дощечкою, на которой было написано: «Уѣздный Судъ», была заперта. Хотя же въ углу площади у заплота и сдѣлана калитка, но и она тоже заперта изнутри, такъ что ни въ домъ, ни въ садъ не было никакой возможности попасть.

Дарья Андреевна постояла задумчиво нѣсколько минутъ. Сердце ея билось скоро, его точно щемило; въ головѣ ея только и было: «хоть куда чужая! что-то скажутъ?». Она глядѣла то на домъ, то на садъ, не то испуганно, не то стыдливо; ей было какъ-то неловко съ ея узломъ; такъ и казалось, что она какъ-будто сама не своя, что она какъ будто сдѣлала что-то нехорошее и ей нечего ждать за свой поступокъ пощады... Ей бросилась въ глаза дыра подъ заплотомъ, откуда течетъ ручеекъ и откуда выползла большая бѣлая лягавая собака, и она пошла туда, но на нее, какъ на непрошенную гостью, накинулась собака съ лаемъ, и она избавилась отъ нея только тѣмъ, что бросила ей небольшой кренделекъ, который та только понюхала, вильнула хвостомъ и съ лаемъ пошла на середину площади.

«Нѣтъ... такъ только воры лазятъ. А я пришла домой, къ родителямъ», подумала Дарья Андреевна, и ей сдѣлалось такъ грустно, что она едва-едва не заплакала и опять пошла къ дому. Тамъ, изъ одного угла, закинувши за себя край занавѣски и шали, выглядывала какая-то старая черномазая женщина, съ растрепанными черными волосами, въ рубахѣ и въ янтарныхъ бусахъ на шеѣ. Дарья Андреевна стала подходить къ окну; но женщина вдругъ какъ-будто испугалась и скрылась. Занавѣска приняла прежнее положеніе. Дарья Андреевна постучалась въ окно. Никто не шелохнетъ занавѣской.

«Это, должно быть, кухарка. Афимью, должно быть, смѣнили, а эта меня не знаетъ», подумала она и хотѣла идти къ воротамъ, а потомъ, если тамъ не достучится, то къ протопопу, Сергію, который прежде очень любилъ ее. Вдругъ она услыхала стукъ въ окно.

— Чего тебѣ? — послышался оттуда охриплый голосъ.

— Пусти.

— Ты чья?

— Я Дарья Андреевна.

Женщина оскалила зубы и быстро исчезла. Немного погодя, она отворила калитку, запертую не на замокъ, но на защелку и припертую вмѣстѣ съ воротами толстою жердью на полтора аршина отъ земли.

— Вы... барышня?—спросила женщина, вставъ въ дверяхъ.

— Да, я дочь.

— Вы изъ монастыря?

— Да. Спятъ папаша и мамаша?

— Спятъ, поди. Умаялись съ крестинъ-то.

Женщина пропустила Дарью Андреевну, съ любопытствомъ заглядывая ей въ лицо, и засунувъ за скобку жердь пошла за нею. Дарья Андреевна хотѣла-было идти наверхъ, но женщина ее остановила.

— Вы туда не ходите — не добудитесь, потому некому отпереть. Какъ этотъ толстопузый гость пріѣхалъ, такъ съ этого хода перестали и днемъ ходить, а ходятъ или съ параднаго, или съ кухни. А вы по-

жалуйте въ дѣтскую. Что жъ вы, барышня, на крестины-то не пріѣхали?—говорила женщина.

— А вы кухарка?

— Кухарка; да не во гнѣвъ будь вашей милости сказано, барыня-то ужъ больно привередливая; все не по ней. Обижаетъ очень. Такая, что не приведи Богъ... Нехорошая... Все хочетъ, чтобы ей какъ нибудь даромъ... А вы хоть ей передавайте, хоть нѣтъ, мнѣ все равно; я никого не боюсь; теперь я не крѣпостная. А что этотъ дворникъ дѣлаетъ, такъ это тоже...— говорила кухарка. Отъ нея пахло очень рѣзко водкой.

Въ сѣняхъ, откуда вела лѣстница наверхъ и было два хода въ кухню, въ дѣтскую и кладовыя, въ этихъ сѣняхъ было и грязно, и сыро. Дарья Андреевна вошла въ кухню, потому что дверь въ дѣтскую была заперта, а нянька, по отзыву кухарки, спала. Изъ кухни онѣ вошли въ коридорчикъ, въ который шелъ сверху ходъ, загроможденный какими-то коробками и корзинками, наполненными грязнымъ бѣльемъ и какимъ-то хламомъ; оттуда вошли въ дѣтскую. Въ первой комнатѣ, съ двумя окнами, съ замазанными до половины стеклами въ рамахъ, спали маленькія дѣти Андрея Иваныча и Осипа Андреича: Александра спала, разметавшись поперекъ кровати, свѣсивъ съ нея ножки, и если бы она еще разъ перевернулась, то непремѣнно упала бы на полъ; противъ нея спала на кровати, лежа на лѣвомъ боку, Марья Андреевна и храпѣла; Владиміръ обнималъ Павла, но они спали такъ тихо, что ихъ дыханія не слышно было; Евлампія спала тоже на отдѣльной кровати. Дарья Андреевна подошла къ сестрѣ, посмотрѣла на нее и, подумавъ: «какъ она потолстѣла», поцѣловала ее въ щеку, но Марья Андреевна, утерши щеку рукой, потянулась и перевернулась на другой бокъ.

— Не троньте ея; она всѣ ноги себѣ отплясала. Завтра не добудишься,—проговорила кухарка, укладывая Евлампію, какъ слѣдуетъ.—Барыня-то ей поручила дѣвочку, а она сама едва до кровати добралась. Не хотите ли, барышня, закусить? Хоть барыня-то и велѣла все спрятать, да я малу-толику утаила, потому цѣлый день не ѣши.

— Нѣтъ, я не хочу.

— Поѣшьте, а то завтра обѣдъ-то поздно будетъ, потому этотъ толстопузый поздно обѣдаетъ, а барыня даетъ ѣсть всѣмъ въ одну пору.

Дарья Андреевна отказалась ѣсть.

— Такъ вы лягте.

— Я спала; вы идите спать.

Кухарка что-то проворчала и ушла, крѣпко хлопнувъ дверью.

Въ другой комнатѣ, въ зыбкѣ, прицѣпленной за тонкую жердь, вдернутую въ кольцо у потолка и называемую очепомъ, спалъ ребенокъ; кормилица-нянька тоже спала, храпя на всю комнату; на полу спала какая-то старуха и около нея лежала кошка съ подушкой и чей-то зипунъ. Дарья Андреевна открыла люльку, тамъ спалъ спеленатый ребенокъ, держа во рту рожокъ, положенный на маленькую подушечку. «Какой хорошенькій!»—сказала Дарья Андреевна, поцѣловала ребенка, который пробудился и заплакалъ. Въ комнату вошла кухарка и стала качать зыбку.

— За всѣми ухаживай! Наняли потаскушку, а она только спитъ... нажрется и спитъ! День-то весь бѣгаешь, какъ толчея, на мѣсто даже не присядешь. Какъ вечеръ придетъ, немного полегчаетъ, думаешь: ночью высплюсь. Анъ вотъ и спи... А еще сама говоритъ: ты, Степанида, въ дѣтской спи. И по ночамъ сюда ходитъ... Будто я крѣпостная или потаскуша тутъ ли молъ, я, не сплю ли! Ей-Богу, если бы не рубль—ушла бы. Да вы лягте.

— Я выспалась.

Ребенокъ замолчалъ и кухарка сѣла на постланное.

— Это вотъ тоже нянька Осипа Андреича,—рекомендовала кухарка спящую на полу лицомъ къ стѣнѣ женщину. — Ей-Богу, если бы я была помоложе, непремѣнно пошла бы въ няньки. Спи себѣ: дитя не свое. Только ужъ у меня нравъ дурацкій: люблю я больно ребятъ, жалко мнѣ, какъ они кричатъ.

Дарья Андреевна, снявши бурнусъ и положивши узелъ, пошла въ комнаты.

— Вы куда? Не ходите —осердятся: онѣ и такъ даве что-то васъ поминали и сердились,—сказала кухарка.

— Я пойду въ садъ.

Дарья Андреевна вышла во дворъ. Тамъ изъ повозки слышался чей-то храпъ; на передкѣ спалъ большой сѣрый котъ. Когда Дарья Андреевна подошла къ повозкѣ, котъ открылъ глаза и умильно посмотрѣлъ на нее.

— Буско! Бу-уско! ты еще живъ, старичекъ!— проговорила она, гладя кота, который при первыхъ ея словахъ хитро глянулъ на нее, но потомъ вскочилъ и убѣжалъ въ каретникъ.

Въ бесѣдкѣ палисадника замѣтны были слѣды вчерашняго развлеченія: на пескѣ валялись окурки папиросъ и сигаръ, скамейки стояли въ безпорядкѣ, на столѣ лежали въ разбросѣ карты и марки, сдѣланныя изъ картъ, и обозначались два свѣжихъ круга отъ пивныхъ стакановъ. Но въ палисадникѣ хорошо, небо чисто, въ воздухѣ тихо; вѣтерокъ только шевелитъ верхушки деревьевъ и до низу не проникаетъ, пахнетъ отъ цвѣтовъ,—такъ бы и не вышелъ изъ него; однако, Дарья Андреевна пошла дальше. Лишь только она прошла палисадникъ, передъ нею открылся большой запущенный садъ: какъ природа создала деревья, такъ они и росли; тутъ было всего двѣ аллеи-дорожки: одна по бокамъ сада, около заплота, а другая шла въ серединѣ; вмѣстѣ съ березой росли осина, сосна, тополь, рябина, черемуха и между ними малина. Кое-гдѣ просвѣчивала сквозь траву вода, виднѣлись камни, желтенькіе и голубые цвѣточки; крапива и репей росли вездѣ въ огромномъ количествѣ; только и замѣтно было человѣческое вмѣшательство въ томъ, что въ саду кое-гдѣ были насажены яблони, сливы, груши, розы, крыжовникъ, смородина, клубника на грядкахъ и сирени, которыя уже цвѣли. Здѣсь уже замѣтно слышался шелестъ листьевъ, и не совсѣмъ ясно доходило щебетаніе птичекъ, какъ будто онѣ пѣли очень далеко. Разстояніе отъ того мѣста, гдѣ кончался палисадникъ, и до заплота налѣво

было занято огородомъ, въ серединѣ котораго стояла деревянная баня съ двумя небольшими окнами въ четыре стекла каждое. Эту баню окружали гряды, сдѣланныя по направленію къ югу и востоку; на нихъ уже начинали всходить всевозможные овощи; недалеко отъ заднихъ построекъ устроено нѣсколько парниковъ для огурцовъ, закрытыхъ оконными, негодными къ употребленію рамами; около заднихъ построекъ сдѣланы тоже гряды, и отъ нихъ поставлены къ постройкамъ тычинки—тутъ ростутъ тыквы и арбузы.

Весело сдѣлалось Дарьѣ Андреевнѣ. «Чего-чего только тутъ ни насажено! Каковъ-то нынче будетъ урожай. И какъ хорошо здѣсь, тихо; ничто не мѣшаетъ рости этимъ овощамъ», думала она. Но вотъ застучали копытами лошади, промычала корова, пропѣлъ пѣтухъ. «Здѣсь тихо, здѣсь растенія, а тамъ—тамъ жизнь съ заботами и безпокойствами», проговорила она про себя и пошла, думая о томъ, какъ она въ тяжелое время, когда ее бранили и корили, уходила въ этотъ садъ лѣтомъ, и ей казалось хорошо, или по крайней мѣрѣ легче дышалось, точно съ ея плечъ сваливалось что-то тяжелое; ей было весело бродить въ этомъ запущенномъ саду съ толстыми, высокими деревьями, и тяжело казалось возвращаться домой, гдѣ ворчатъ, кричатъ и смотрятъ на нее недовольно.

Изъ огорода она пошла въ садъ по узенькой тропинкѣ. Этой тропинкой дошла она до пруда, имѣющаго саженъ пятнадцать длины, и въ самой серединѣ саженъ шесть ширины; прудъ тоже былъ запущенный. Вокругъ пруда на полянкѣ ростутъ желтенькіе и голубые цвѣточки, а передъ бесѣдкой на небольшой площадкѣ насажены георгины, настурціи и другіе цвѣты. Вода въ прудѣ покрылась плѣсенью по краямъ; у противоположнаго берега играетъ рыба и чавкаютъ траву караси.

Дарья Андреевна сѣла къ пруду, закурила папироску и задумалась. Долго она сидѣла въ такомъ положеніи: ей хорошо было; хотѣлось припомнить прошлое, но глаза ея смыкались, вѣтерокъ усиливался, сильнѣе шелестѣли листья и вѣтви деревьевъ, кустовъ и шевелили ея волосы; солнышко уже не было багрово, а стояло надъ самыми верхушками дальнихъ деревьевъ, и ослѣпительно бѣлымъ, бездоннымъ кружкомъ отражалось въ водѣ. Ничего нейдетъ въ голову; такъ бы и сидѣла тутъ... Вдругъ что-то шевельнулось въ травѣ и кто-то прыгнулъ въ воду; Дарья Андреевна вздрогнула, но замѣтивъ лягушку, успокоилась. Опять она задумалась, и вдругъ вскочила: лягушка была недалеко отъ нея и какъ будто намѣревалась вскочить ей на платье. «Экая противная! Отчего я боюсь ихъ? вѣдь онѣ не кусаются», подумала она и сѣла ближе къ бесѣдкѣ. Но не просидѣла она и пяти минутъ, какъ услышала оттуда кашель. Хотя въ боку бесѣдки и было сдѣлано окно, которое было отворено, но она въ ней никого не замѣтила, потому что бесѣдка съ трехъ сторонъ была окружена густыми кустами шиповника, и ее отсюда изъ за деревьевъ видно не всю.

Дарья Андреевна вздрогнула и подошла къ бесѣдкѣ. Дверь бесѣдки была заперта изнутри на крючокъ; въ полуотворенное окно Дарья Андреевна увидала слѣдующее: Андрей Иванычъ лежалъ на широкой скамейкѣ, на тюфякѣ, покрытомъ простыней, лежалъ онъ на спинѣ въ шерстяномъ, сѣромъ халатѣ и ермолкѣ на головѣ, и курилъ изъ длиннаго чубука, трубка котораго касалась его ногъ. Онъ то глядѣлъ въ потолокъ, шевеля передъ лицомъ пальцами правой руки, то закрывалъ глаза, то скрежеталъ зубами, то морщилъ лицо. Передъ нимъ на столѣ стояли: чернильница съ принадлежностями, бутылка съ какою-то наливкой, тарелка съ огурцомъ и жаренымъ карасемъ, кисетъ съ табакомъ, коробка спичекъ, кусокъ бѣлаго хлѣба, нѣсколько пакетовъ, уже распечатанныхъ и какое-то письмо. Покуривъ немного, Андрей Иванычъ взялъ со стола письмо и, прочитавъ немного,—проговорилъ:

— Каналья! Вамъ только плати деньги!.. Отлично! Нѣтъ; я еще самъ поѣду; я съ тебя взыщу за Дарью.

И онъ привсталъ, взялъ бутылку и отпилъ изъ горлышка.

— Я вамъ всѣмъ утру носъ! Это ты врешь, что она убѣжала...

— Папаша...—проговорила робко Дарья Андреевна.

Яковлевъ вздрогнулъ, перекрестился и посмотрѣлъ въ окно. Тамъ стояла Дарья Андреевна.

— Даша! ты ли это?—привставъ, проговорилъ отецъ.

— Я, папаша.

Яковлевъ отперъ дверь.

— Папаша, простите ли вы меня!... — сказала Дарья Андреевна и заплакала.

Андрей Иванычъ обнялъ дочь, поцѣловалъ и самъ заплакалъ.

— Милая ты моя... Какъ это... А?.. говорилъ онъ, смотря на дочь.

— Терпѣнія не хватило, папаша. Послѣ я вамъ все разскажу... Вы на меня не сердитесь за то, что я уѣхала оттуда?

— Вотъ еще... А ты что же не писала?

— Я писала... Я думала, вы знаете все.

— Да я ничего отъ тебя не получалъ ужъ съ полгода и сердился; а Марина Осиповна все говорила, что ты нарочно не хочешь писать.

— Это, папаша, настоятельница перехватывала письма. Я узнала уже послѣ того, какъ отправила съ служителемъ къ вамъ письмо. Я тогда писала, что мнѣ не хочется больше жить въ монастырѣ, вотъ она дня черезъ два и давай меня пилить, что я негодная дѣвчонка, веду себя не хорошо, смущаю другихъ воспитанницъ и молодыхъ монахинь, ничего не дѣлаю, развратничаю, обжираюсь...

И она заплакала.

Андрей Иванычъ сжалъ кулаки, опять выпилъ изъ бутылки и закусилъ рыбой.

— У васъ, папаша, и вилки-то нѣту. Я пойду принесу.

— Не надо... А то опять не оберешься укоровъ. Ну, а деньги-то у тебя были ли?

— Виновата, папаша, я заняла у старушки-чи-

новницы пять рублей, и до губернскаго города ѣхала съ обозами.

— У Кузьмы была?

— Два дня пробыла... И что за жизнь, папаша, Кузьмѣ! Утромъ встанетъ—сапоги надо вычистить самому, потомъ переписать кое-что, послѣ обѣда дѣтей обучать, вечеромъ опять бумаги переписывать...

— Нельзя: Платоновы намъ всегда пригодятся.

— Но, папаша, Кузьма говоритъ, что ему нѣкогда готовить свои уроки. Вотъ его хотятъ оставить въ пятомъ классѣ еще на годъ.

— А что жъ такое? Стукнетъ ему семнадцать лѣтъ, и на службу опредѣлимъ.

— Все же бы лучше, если бы онъ кончилъ въ гимназіи.

— Онъ и теперь ужъ много знаетъ, и теперь ужъ у него въ письмахъ замѣтна какая-то прыть и самонадѣянность. Ипполитъ уже обѣщаетъ ему мѣсто помощника въ своемъ отдѣленіи, а это много значитъ, матушка. Нынче и чиновники безъ мѣстовъ шляются. Вотъ что. Надо успѣвать, покуда я живъ, да дядя на службѣ; а онъ вездѣ можетъ мѣсто выпросить. Вотъ хоть бы я теперь: изъ стряпчихъ уволили, отдали-было подъ судъ, да спасибо—дядя похлопоталъ, освободили отъ суда, и вотъ я теперь винный приставъ. Была ты у Анны Николавны?

— Была, да она такъ сухо приняла меня, что я недолго у нея сидѣла.

— Напрасно. Ты ей должна всячески угождать; она хотя и чванливая барыня, съ душкомъ, но для тебя всегда пригодится.

— Не думаю.

— То-то вотъ и скверно, что вы съ любезнымъ братчикомъ все по-своему... Это не хорошо. Ссориться никогда не слѣдуетъ, потому что ты еще и жить-то не начала, все тебя еще, такъ сказать, на помочахъ держатъ...

— Я, папаша, хочу попытаться жить сама собой,—проговорила чуть слышно отъ робости Дарья Андреевна.

— Ты должна то имѣть въ виду, что вѣдь у меня завалящихъ денегъ нѣтъ; ей-Богу, у меня всего капиталу три серіи, да рублей съ пятьдесятъ мелкими... И удивительнаго тутъ нѣтъ ничего, если взять во вниманіе, что у меня что ни годъ, то ребенокъ, а ребенка-то надо тоже кормить, воспитать, пристроить къ мѣсту. А это дѣлается не духомъ святымъ, за каждую малость надо платить деньгами, а тутъ еще дыры по службѣ, и каждая такая дыра замазывается сотней, а гдѣ и побольше.

Андрей Иванычъ замолчалъ и опять выпилъ.

Дарья Андреевна слушала со вниманіемъ. Она не плакала, но лицо ея было серьезно. Ей казалось, что отецъ читаетъ ей нотацію, и въ то же время излагаетъ свое горе и выворачиваетъ передъ нею душу, чего съ нимъ прежде не бывало. «Господи», подумала она: «какъ онъ опустился!» Правда, онъ и прежде пилъ много; но тогда онъ рѣдко говорилъ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ домочадцевъ. Неужели отецъ дошелъ до такой бѣдности?

— Ты ни съ кѣмъ еще не видалась здѣсь?—спросилъ послѣ выпивки Андрей Иванычъ.

— Нѣтъ, папаша. Правда, я видѣла Машу, но она спитъ, и я не стала ее будить. Нянька или кормилица, тоже спитъ.

— Ну, ничего. А ты бы легла съ дороги-то: я уйду, лягу въ каретникъ или повозку.

— Нѣтъ, я спала.

— Ну, полно. Къ намъ пріѣхалъ дядя; онъ хочетъ тебя съ собой взять. Но я не хочу, чтобы ты уѣхала такъ скоро.

— Мнѣ, папаша, вовсе не хочется гостить у него.

— Глупости говоришь.

— Я, папаша, хочу сама попробовать жить: я буду шить на сторонѣ...

— Что такое? Я что-то не разслышалъ.

— У меня въ городѣ Соколѣ есть знакомая дѣвица-чиновница, такъ она шьетъ на гостиный дворъ.

— И живетъ непремѣнно на содержаніи, какъ у нашего засѣдателя Петрова?

— Нѣтъ, папаша, она живетъ съ матерью, бѣдною старушкою.

— Да ты сумасшедшая, что́ ли? Ты, дочь бывшаго стряпчаго, и вдругъ будешь шить на продажу! Господи! вотъ я до чего дожилъ!.. Моя дочь, моя кровь и плоть—работница! Не будешь ли ты еще чулки вязать на продажу? бѣлье стирать?—почти кричалъ отецъ. Щеки его побагровѣли.

Дарья Андреевна не нашлась, что̀ отвѣтить отцу. Скажи она еще какое-нибудь слово въ защиту своего плана, она бы услышала или проклятіе, или еще что-нибудь хуже. Отецъ становился золъ.

— Говори! Говори, кто тебя научилъ такимъ бреднямъ?.. А! тебѣ не нравится отецъ! Нѣтъ.. Боже мой! Уже не правда ли все то, о чемъ мнѣ пишутъ!..

Дарья Андреевна встала на колѣни, заплакала и сквозь—слезы проговорила:

— Папаша, хоть вы-то не обижайте меня!..

— Скажите! А ты меня не обидѣла?

Я только сказала, что̀ думаю. Я потому такъ думаю, что видала многихъ женщинъ, которыя и безъ мужей зарабатываютъ себѣ хлѣбъ.

— И я знаю ихъ: то—крестьянки, мѣщанки, развратницы. Прошу выкинуть изъ головы подобныя намѣренія и никому не смѣть высказывать ихъ. Въ противномъ случаѣ я тебѣ не отецъ и ты мнѣ дочь... Часъ отъ часу не легче!—проговорилъ отецъ, выходя изъ бесѣдки.

— Папаша...

Отецъ остановился.

— Я пойду въ домъ.

— Тамъ всѣ спятъ. Ради Бога, ты никому не высказывай своихъ бредней... Я сейчасъ принесу тебѣ вина и закуски какой-нибудь, потомъ ты ляжешь спать. Я скажу всѣмъ, чтобы тебя не будили... Вѣдь кромѣ кухарки никто еще не знаетъ, что ты здѣсь! Надо ихъ приготовить.

И онъ ушелъ.

V.

Фамилія Яковлевыхъ въ Ильинскѣ издавна, если не играла особенно-видной роли, то была въ почетѣ

и уваженіи. Такъ прадѣдъ нынѣшнихъ Яковлевыхъ хотя былъ просто дьячокъ, но всѣ его уважали за доброту, услуги и простоту. Такого добряка, говорятъ, никогда еще не бывало въ родѣ Яковлевыхъ. Дѣдъ нынѣшнихъ Яковлевыхъ былъ дьяконъ, отецъ —мѣщанинъ, который сперва торговалъ въ городѣ мукой, крупой и въ голодные дни снабжалъ бѣдныхъ горожанъ грошовыми подачками, а потомъ, послѣ пожара, уничтожившаго весь его товаръ, все имущество и деньги, поселился въ слободѣ, гдѣ его отецъ, страстный рыболовъ, имѣлъ свой домъ. Здѣсь, то вотъ и родился Андрей Иванычъ и прожилъ тутъ восемь лѣтъ до тѣхъ поръ, когда его отецъ, разбогатѣвши рыбной торговлей, сдѣлался купцомъ и переѣхалъ ради своихъ разсчетовъ и прибылей въ городъ. Бѣдность отца, котораго не очень долюбливали родные за то, что онъ промѣнялъ духовное званіе на мѣщанство, пока онъ былъ бѣденъ, значительно тяготила его большое семейство и много вліяла на характеръ маленькаго Андрея. Его постоянно били, мало кормили и больше держали на улицѣ, такъ что къ восьмому году Андрей Иванычъ совсѣмъ отбился отъ дому, бѣгалъ, игралъ и плакалъ съ ребятами, буянилъ, дрался, лгалъ и воровалъ наравнѣ съ прочими мѣщанскими дѣтьми и наравнѣ съ ними получалъ за свою удаль побои. Еще къ восьми годамъ онъ научился презирать баричей, и для него было большимъ удовольствіемъ что-нибудь напакостить въ городѣ, хоть бы напримѣръ разбить окно. И чѣмъ больше его драли, тѣмъ больше его тянуло въ городъ. Лишившись матери на четвертомъ году, онъ находился подъ опекой мачехи, которая нисколько его не любила, и поэтому рано возненавидѣлъ и мачеху, и тетушекъ, и всю женскаго пола родню, а отъ своихъ сестеръ, которыхъ у него было двѣ, ему нечего было ждать чего-нибудь хорошаго, такъ какъ онъ былъ старше. Его не любили всѣ родные, которые находились въ Ильинскѣ: всѣ видѣли въ немъ какого-то сорванца, котораго опасно пустить въ домъ. Въ Ильинскѣ же росъ двоюродный братъ Андрея, Ипполитъ, но Андрей ненавидѣлъ его за то, что онъ сынъ исправника, а Ипполитъ презиралъ Андрея, какъ сына мѣщанскаго. Но, несмотря на такой буйный характеръ, Андрей былъ мальчикъ ловкій, смышленый, бойкій и къ восьмилѣтнему возрасту уже зналъ четыре правила ариѳметики, хорошо читалъ и умѣлъ писать, тогда какъ Ипполитъ только что на девятомъ году сталъ учить азбуку. Когда же отецъ сдѣлался купцомъ и переѣхалъ въ городъ, то Андрею до того стало противно жить въ городѣ, гдѣ приходилось глазѣть только на стѣны домовъ и не было такого простора, какъ вблизи самой рѣки и на рѣкѣ, что онъ черезъ недѣлю убѣжалъ въ слободу, гдѣ его насилу сыскали. Послѣ этого онъ часто бѣгалъ, его приводили назадъ, наказывали и запирали въ комнату, какъ преступника.

Судя по этому, можно было заключить, что мальчику никогда и не придется быть чиновникомъ. Но вышло напротивъ, и тому причиной было одно обстоятельство, устроившее его судьбу иначе. Записавшись въ купцы, отецъ его года два ни съ кѣмъ не хотѣлъ подружиться, хотя и поневолѣ долженъ былъ имѣть сношенія съ чиновниками, когда бралъ различные подряды. Онъ былъ человѣкъ практическій, но за то плохо смыслилъ въ письмѣ и его очень легко было напоить до-пьяна, уговорить, выпросить денегъ или подбить на какое-нибудь рискованное дѣло. Вотъ онъ и захотѣлъ обучить своего сына грамотѣ, т. е. обучить его въ губернскомъ городѣ какимъ-нибудь наукамъ. Онъ сталъ съ нимъ ласковѣе, заставлялъ читать разные документы и постоянно твердилъ ему, что изъ него выйдетъ хорошій человѣкъ, если онъ выучится разнымъ наукамъ въ гимназіи, и будетъ даже въ тысячу разъ лучше Ипполита, который ровно ничего не понимаетъ и котораго отецъ уже мѣтитъ на свое мѣсто. Онъ ему наговорилъ такъ много, что мальчикъ воображалъ уже себя губернаторомъ и съ охотою согласился ѣхать въ губернскій городъ. Когда онъ прожилъ въ губернскомъ городѣ три года, то вполнѣ уже свыкся съ идеей о чиновнической карьерѣ. Онъ видѣлъ, что молодые люди, по выходѣ изъ гимназіи, тотчасъ же дѣлались чиновниками, получали хорошее по тому времени жалованье, женились на богатыхъ, и вездѣ имъ оказывали почетъ; что, напротивъ того, мѣщане никогда не смѣняли своего халата и кафтана, хвастались только своею удалью, а въ сущности находились въ подчиненіи у чиновниковъ. Кромѣ этого, дѣтей мѣщанина даже не принимали въ гимназію, какъ будто бы имъ не дозволялось знать тѣ науки, какія имѣютъ право знать дѣти дворянъ. Все это начинало кружить голову мальчику, хотя ему и тяжело было навсегда разстаться съ привольной мѣщанскою жизнью, съ роднымъ городомъ и съ привольною рѣкой. Онъ часто ссорился съ товарищами изъ-за происхожденія, но постепенно убѣждался, что чиновникомъ быть гораздо лучше, чѣмъ мѣщаниномъ. Съ чиновника не берутъ никакихъ податей, отъ него не требуютъ рекрута, онъ можетъ разъѣзжать свободно, куда хочетъ, покупать землю, гдѣ хочетъ, можетъ быть и важнымъ человѣкомъ. Несмотря однакожъ на то, что онъ пробылъ въ гимназіи четыре года, и ему пошелъ шестнадцатый годъ, ученье подвигалось тихо, такъ что на пятый годъ онъ перешелъ только въ третій классъ вмѣстѣ со своимъ двоюроднымъ братомъ Ипполитомъ, котораго переводили не за то, что онъ хорошо учился, а потому, что отецъ его платилъ, кому слѣдуетъ; кромѣ того, Ипполита никогда не наказывали, а Андрей Иванычъ рѣдкую недѣлю избѣгалъ наказаній за лѣность, шалости и грубости. Поэтому они съ Ипполитомъ не были дружны. Но тутъ случилось съ отцомъ Андрея Иваныча несчастіе: онъ оборвался на подрядахъ, продалъ домъ и умеръ. Послѣ его смерти нашлись кредиторы, которые постарались забрать все, что было поцѣннѣе, и даже продали его домишко въ слободѣ. Андрею Иванычу пришлось жить у дяди, Аполлона Андреича, котораго въ это время перевели изъ Ильинска въ губернскій городъ. И вотъ тутъ-то онъ узналъ, что значитъ жить въ чужихъ людяхъ, которыхъ онъ съ ранняго дѣтства ненавидѣлъ, что значитъ чужой хлѣбъ. Жена дяди была женщина старая, злая. Происходя изъ дворянскаго рода, она била своихъ крѣпостныхъ людей, а съ своими дѣтьми обращалась холодно-лас-

ково; она больше была привязана къ дочерямъ, чѣмъ къ сыновьямъ, но ни у тѣхъ, ни у другихъ не было ни гувернантокъ, ни учителей, и только уже переселившись въ губернскій городъ отецъ нанялъ учителя изъ уѣзднаго училища—для всѣхъ шестерыхъ дѣтей за десять рублей въ мѣсяцъ. Имѣніе у тетки было небольшое, да и изъ него до половины крѣпостныхъ разбѣжалось, а остальные большею частью могли выплачивать оброкъ только натурой, поэтому она частенько обращалась къ мужу за деньгами. Не будь этого послѣдняго обстоятельства, т. е. будь она богата, она бы конечно и мужа взяла въ руки. Дядя Андрея Иваныча, впрочемъ, сознавалъ, что должности свои онъ получалъ черезъ жену, и потому уступалъ ей во многомъ. Вообще, въ домѣ большею частью все дѣлалось по ея волѣ, а мужъ жилъ у нея какъ гость или нахлѣбникъ. Все шло хорошо для него: онъ былъ сытъ, спалъ вдоволь, жена есть, должность хороша, прислуга боится, на службѣ тоже начальство благоволитъ. Чего же еще? Самъ онъ былъ человѣкъ простой, добрый и только, когда дѣло касалось до платы или вообще до денежныхъ разсчетовъ, то становился скупъ и золъ. Онъ никому не давалъ денегъ даромъ, а если давалъ, то за дѣло, да и то торговался хуже еврея и поэтому даже никогда не игралъ въ карты на наличныя деньги. И въ этомъ случаѣ, если онъ выигрывалъ, то деньги бралъ, если проигрывалъ, то не отдавалъ. И вотъ тутъ-то и поселился Андрей Иванычъ.

Онъ жилъ въ отдѣльной комнатѣ, съ дядиной семьей не сообщался, а ѣлъ въ кухнѣ. Прислуга надъ нимъ смѣялась, называла нищимъ, отпускала на его счетъ разныя остроты и насмѣшки и выводила его изъ терпѣнія. Онъ сдѣлался задумчивъ, вспыльчивъ, молчаливъ; товарищи его не веселили, напротивъ, надоѣдали ему, прислуга злила. Иногда онъ думалъ: мѣсто ли ему, гимназисту, будущему чиновнику, обѣдать въ кухнѣ? Отчего его двоюродный братъ обѣдаетъ съ отцомъ?.. Ему впрочемъ и неловко бы было обѣдать у такихъ баръ, какъ его дядя съ женой и родственниками, но его уже брала зависть; его обижали. Онъ сознавалъ, что его кормятъ и содержатъ, какъ нищаго, для того, чтобы Богъ простилъ грѣхи или послалъ еще больше довольства и счастія, что ему почти каждый день и высказывалъ Ипполитъ. Учиться онъ сталъ плохо, сталъ бѣгать изъ дому и изъ гимназіи, то къ мѣщанамъ на прежнія квартиры, то къ рѣкѣ. Его стали наказывать. Онъ сказалъ дядѣ, что его обижаетъ прислуга и Ипполитъ; дядя сдѣлалъ тѣмъ выговоръ, но это только раздражало ихъ еще хуже, и они грозились сдѣлать съ нимъ какую-нибудь штуку. Андрей Иванычъ убѣжалъ въ Ильинскъ и поселился въ слободѣ. Дядя сталъ требовать его въ губернскій городъ, но его не пустилъ протопопъ Третьяковъ, женатый на дальней родственницѣ дяди. Эта родственница въ послѣднее время изъ-за чего-то разсердилась на брата Аполлона, и когда ей Андрей Иванычъ разсказалъ о своемъ житьѣ у дяди, то протопопъ согласился взять Андрея Иваныча къ себѣ и помѣстить на службу въ уѣздный судъ.

Такимъ образомъ Андрей Иванычъ избавился отъ вліянія дяди-чиновника и, не кончивши курса въ гимназіи, поступилъ на службу.

О службѣ говорить много нечего. Все, что есть грязнаго, пьянаго, безчестнаго и подлаго,—все это было какъ будто отмѣчено на лицѣ каждаго дѣятеля этого времени. И вотъ въ этомъ-то вертепѣ долженъ былъ начать свою жизнь молодой гимназистъ, изучать законы, исполнять эти законы не такъ, какъ требуетъ совѣсть, а какъ вздумается секретарю, членамъ и судьѣ. На первыхъ порахъ ему, проведшему дѣтство среди мѣщанъ, видѣвшему многихъ бѣдняковъ и знающему, за что его товарищи-слободчане не любили приказныхъ, было жутко въ этой ямѣ; его мѣщанская кровь, казалось, какъ будто застывала при видѣ арестанта въ кандалахъ. Иному человѣку съ такими задатками не прожить бы въ этомъ мѣстѣ и недѣли, но Андрей Иванычъ крѣпился, служилъ и даже сталъ брать деньги за написаніе кому-нибудь прошенія или копіи, или выписки изъ дѣла. Онъ понялъ, что въ судѣ такими мелкими людьми, какъ столоначальникъ, всѣ пренебрегаютъ, и что начальники, чтобы удержаться подольше на мѣстахъ, должны посылать въ губернскій городъ, а для этого нужно брать, чѣмъ попало. Значитъ, взятка существуетъ вездѣ. Если начальство беретъ, надо и писцу брать, рѣшилъ Андрей Иванычъ. И онъ далеко перегналъ въ этомъ своихъ товарищей. Сдѣлавшись столоначальникомъ, онъ сдѣлался врагомъ своихъ писцовъ. Служащіе его не любили какъ выскочку, какъ наушника, хотя онъ жаловался судьѣ только на такихъ, которые постоянно пьянствовали; всѣ въ немъ видѣли барина, живущаго у протопопа, и человѣка богатаго, такъ какъ онъ былъ надсмотрщикомъ крѣпостного стола и приходорасходчикомъ, чего не могли добиться люди, служащіе въ судѣ нѣсколько лѣтъ. Но онъ только отмалчивался, и на третій годъ своей службы уже ворочалъ всѣмъ судомъ, такъ что ни секретарь, ни судья ничего не могли сдѣлать безъ него.

Выросши среди мѣщанъ и зная ихъ бытъ вполнѣ, онъ хотѣлъ быть богатымъ, большимъ человѣкомъ. Полученный чинъ еще больше прибавилъ ему самоувѣренности. Онъ гордился передъ родными, и связи его съ мѣщанствомъ были порваны. Хотя нѣкоторые изъ его прежнихъ друзей и надѣялись на защиту Андрея Иваныча, но онъ только обѣщалъ на словахъ, потому онъ зналъ, что если будетъ тянуть сторону мѣщанъ, то ему придется порѣшить со службой. Къ деньгамъ онъ имѣлъ страшную жадность и не брезговалъ, если ему давали рубль. Онъ отказывалъ себѣ въ удовольствіяхъ, винѣ, картахъ и т. п., соблюдалъ посты, питаясь больше тѣмъ, что дешевле, былъ богомоленъ и робокъ съ женскимъ поломъ. За всѣ эти качества дамы его любили, дѣвицы млѣли, думая, кого-то изъ нихъ онъ выберетъ себѣ въ подруги жизни. Но Андрей Иванычъ смотрѣлъ на бракъ какъ на увеличеніе капитала, на обезпеченіе въ будущемъ, и поэтому женился на купеческой дочери, за которою и взялъ настоящій домъ и двѣ тысячи денегъ. Этотъ бракъ еще болѣе поднялъ его въ Ильинскѣ, и онъ сталъ окончательно недоступенъ для бѣдныхъ мѣщанъ. Но поселившись въ небольшомъ домикѣ съ

женою и ея родными, онъ зажилъ скромно попрежнему; попрежнему копилъ деньги, соблюдалъ посты, ходилъ въ церкви, не игралъ въ карты и только по необходимости устраивалъ обѣды и вечера въ дни своихъ и жениныхъ именинъ. У него сложились двѣ жизни: дома—мѣщанская, въ судѣ—чиновничья. Все—начиная съ того, что онъ ходилъ дома или въ халатѣ, или безъ халата, и кончая тѣмъ, что жена безъ его спроса боялась куда-нибудь идти или что-нибудь купить для себя,—все пахло мѣщанствомъ, съ тою только разницею, что это мѣщанство было сытое. Но на службѣ онъ былъ вполнѣ чиновникъ: тамъ онъ оскорблялся, если писецъ начиналъ заявлять свои права, велъ себя съ достоинствомъ, говорилъ свысока, передъ начальствомъ стоялъ прямо, глядѣлъ прямо и за словомъ у него дѣло не останавливалось; на службѣ у него и походка была другая, чѣмъ дома: онъ ходилъ мелкимъ шажкомъ, выпятивъ животъ впередъ, держа голову немножко на лѣвое плечо и глядя искоса кверху. Онъ считался отличнымъ дѣльцомъ; съ нимъ постоянно совѣтовались, и бѣда была бы тому, если бы кто обидѣлъ его. «Въ бараній рогъ согну!», думалъ онъ, и ему дѣйствительно сдѣлать это было легко. Чтобы не утомлять читателя, я скажу, что со временемъ его вражда къ Ипполиту охладѣла, и они помирились окончательно тогда, когда дядя выхлопоталъ ему должность стряпчаго, а Ипполитъ прослужилъ года два въ Ильинскѣ окружнымъ начальникомъ.

Андрей Иванычъ былъ женатъ три раза. Первыя двѣ жены были женщины робкія, боявшіяся своего мужа, и все въ домѣ дѣлалось такъ, какъ хотѣлъ Андрей Иванычъ. Дѣти воспитывались строго; мальчики готовились въ чиновники, дочери—въ жены чиновниковъ. Но нынѣшняя его жена, Марина Осиповна, о которой я скажу подробнѣе впослѣдствіи, много повліяла на его характеръ. При выходѣ замужъ ей было девятнадцать лѣтъ; она была капризна, самолюбива и горда тѣмъ, что отецъ у нея купецъ и она теперь жена стряпчаго, забывая, что младшая ея сестра въ то же время была замужемъ за пьюгой мѣщаниномъ—сидѣльцемъ въ питейномъ заведеніи, а отецъ прежде былъ тоже мѣщаниномъ, и даже два раза сидѣлъ въ тюрьмѣ. Ужъ какъ вышло, что Андрей Иванычъ женился на дочери такого человѣка, онъ и самъ бы не разрѣшилъ; только тогда Зиновьевъ былъ въ славѣ, а за Мариной Осиповной Яковлевъ еще и при жизни второй жены пріударялъ—значитъ, онъ любилъ ее. А такъ какъ послѣ смерти жены ему нужна была хозяйка въ домѣ, а Зиновьевъ былъ съ нимъ связанъ по одному каверзному дѣлу, то онъ, недолго думая, и женился на его дочери. Марина Осиповна сразу забрала не только своего супруга, но и всѣхъ дѣтей въ руки, и все стало дѣлаться такъ, какъ она хотѣла, а Андрей Иванычъ только помалчивалъ, потому что былъ сытъ, пользовался вожделѣннымъ здравіемъ, въ домѣ было тихо, никто ни на кого не жаловался, и всѣ находили, что Марина Осиповна отличная хозяйка. Дѣтей Андрея Иваныча Марина Осиповна не любила, но не выказывала этого прямо, и даже заботилась, чтобы они были сыты, одѣты и обращались за всѣмъ къ ея особѣ, а она уже съ своей стороны обращалась къ мужу за деньгами, изъ чего извлекала для себя выгоду. Напримѣръ, подходитъ праздникъ, она и говоритъ Андрею Иванычу, что Марьѣ нужно салопчикъ сшить.

— Подождемъ. Вотъ поѣду на ярмарку въ Краснослободскъ, тамъ посмотримъ.

— Нечего смотрѣть: нынѣ мѣха годъ отъ году дороже становятся.

— Ну, купи изъ своихъ денегъ.

— Очень мнѣ нужно: вы бы еще пять разъ женились, народили штукъ двадцать ребятъ... Съ какой стати я стану вашихъ дѣтей одѣвать; у меня свои могутъ быть.

Подумаетъ Андрей Иванычъ и рѣшитъ, что она пожалуй и права. Не дастъ онъ денегъ,—она цѣлую недѣлю и не говоритъ съ нимъ ни слова, младшія дѣти ходятъ въ грязномъ бѣльѣ, всѣ невеселы, кушанье не по вкусу. Дастъ денегъ, — и все опять попрежнему: жена ласковая, даже веселая, всѣ ходятъ нарядные, кушанья — ѣшь не хочу. Весело Андрею Иванычу и не нарадуется онъ...

Такимъ образомъ, несмотря на то, что у Андрея Ивыныча были доходы, деньги у него не залеживались, потому что онъ тратилъ ихъ на обученіе сыновей, на подарки въ губернскій городъ, на платья и приданое дочерямъ. Современемъ онъ потолстѣлъ, сдѣлался лысъ и втянулся въ водку до того, что пилъ запоемъ цѣлыя недѣли, не занимаясь дѣлами, и этимъ тоже пользовалась его супруга. А тутъ его отдали подъ судъ и уволили, но черезъ полгода освободили, и по протекціи Ипполита Аполлоновича онъ попалъ на должность виннаго пристава. Полъ-года бездѣлья значительно отразились на его характерѣ: онъ сталъ придирчивъ, больше сталъ пить, подпалъ вліянію Марины Осиповны больше прежняго, по цѣлымъ часамъ бродилъ съ трубкой по саду или лежалъ тамъ въ бесѣдкѣ, сдѣлался богомоленъ до того, что учредилъ у себя въ домѣ нѣчто похожее на молельню, такъ что все семейство, какъ сказано уже выше, должно было собираться въ залу утромъ, передъ обѣдомъ, ужиномъ и сномъ и молиться, а потомъ поздравлять, цѣловать, благодарить и прощаться съ нимъ и его женой. Съ этихъ поръ болѣе прежняго стали соблюдаться посты, поминки, заговѣнья и тому подобные обряды, соблюдаемые сытымъ мѣщанствомъ, и болѣе прежняго онъ требовалъ отъ другихъ уваженія къ себѣ и своему семейству; такъ въ церкви становился въ первый рядъ съ городничимъ и другими лицами и обижался, если дьячокъ подносилъ ему не цѣлую, а только половину просфоры, а когда причащался, то непремѣнно въ страстную субботу послѣ городничаго и первымъ подводилъ свое семейство; обижался, если духовенство пріѣдетъ съ крестомъ послѣ обѣда, не давалъ руки судейскимъ столоначальникамъ, обижался, если на рынкѣ какой-нибудь торгашъ не кланялся ему низко и т. д.

Изъ дѣтей своихъ онъ больше всѣхъ любилъ Осипа и Дарью, и любилъ по-своему. Осипа любилъ за то, что тотъ всегда слушался, хорошо учился и скоро получилъ мѣсто станового пристава. Хотя же Осипъ Андреичъ былъ и умнѣе отца, зналъ болѣе его, но Андрей Иванычъ говорилъ всѣмъ, что все это сыномъ

заимствовано отъ него, доказывалъ это тѣмъ, что сынъ, еще обучаясь въ гимназіи, умѣлъ сочинять какія угодно рѣшенія по уголовнымъ дѣламъ. Если же Осипъ Андреичъ и дозволялъ себѣ при отцѣ вольнодумничать, то отецъ на это не обращалъ вниманія, потому что Осипъ умѣлъ себя вести хорошо во всякомъ обществѣ, и въ это время ради моды много позволялось говорить. При всемъ этомъ отецъ зналъ, что сынъ ни за что не позволитъ ни словомъ, ни дѣломъ унизить или скомпрометировать отца и даже себя. Такъ что, несмотря на свою ученость, сынъ рѣдко перечилъ отцу, и если между ними заходили споры, то въ большинствѣ случаевъ сынъ уступалъ. Дарью Андреевну отецъ любилъ съ дѣтства. Сначала она была хилымъ ребенкомъ, но, несмотря на то, что многія дѣти у Андрея Иваныча умирали, ему почему-то не хотѣлось, чтобы она умера. Послѣ смерти первой жены онъ часто бралъ ее на руки и, что̀ бывало съ нимъ очень рѣдко, даже напѣвалъ ей пѣсни. Когда она подросла, онъ съ особенною ласкою обращался къ ней, называя ее милочкой и красавицей, а въ хорошемъ расположеніи духа говорилъ своимъ роднымъ, что у него Дарья всѣхъ красивѣе въ городѣ и непремѣнно выйдетъ замужъ за хорошаго чиновника. Если онъ ѣздилъ въ губернскій городъ, то постоянно привозилъ ей чего-нибудь. Онъ не любилъ, когда онъ занятъ въ своей канцеляріи, чтобы къ нему за чѣмъ-нибудь приходили дѣти, но если приходила Дарья, онъ клалъ перо и готовъ былъ пуститься съ нею въ длинныя разсужденія. Если кто-нибудь изъ дѣтей хворалъ — онъ говорилъ женѣ: «э, пройдетъ!»; а если у Дарьи лицо было черезчуръ красно или очень блѣдно, онъ безпокоился и спрашивалъ, здорова ли она, и когда Дарья была больна, онъ призывалъ доктора. Противъ обыкновенія онъ даже самъ училъ ее, шутя, писать и потомъ заставлялъ ее что-нибудь прочитать изъ книжки веселаго или религіознаго содержанія. Зная, что Марина Осиповна не любитъ ее, онъ, скрѣпя сердце, рѣшился послать ее въ монастырь, и то больше потому, что она очень много читаетъ романовъ и повѣстей. Къ тому же его денежныя дѣла были плохи и онъ надѣялся, что подъ покровительствомъ игуменьи Дарья найдетъ себѣ хорошаго жениха, — хотя бы даже и изъ духовенства. Ему очень хотѣлось имѣть зятемъ какого-нибудь кончившаго курсъ въ академіи.

И вдругъ его любимая дочь сказала ему, что она хочетъ сама себѣ зарабатывать хлѣбъ!.. Ну, не обида ли это?.. Виданное ли это дѣло, чтобы его дочь, дочь чиновника, виннаго пристава, имѣющаго въ Ильинскѣ большой каменный домъ съ большимъ садомъ, вдругъ стала работать на чужихъ, можетъ, быть, даже и на людей нечиновныхъ? Что̀ скажутъ объ этомъ люди?.. Нѣтъ, она должна быть женою чиновника, а не какою-нибудь швеей-работницей.

Такъ думалъ Андрей Иванычъ, ходя по саду.

VI.

Солнце уже поднялось высоко; былъ часъ шестой или седьмой. Дарья Андреевна не легла спать, хотя ей и хотѣлось; на пароходѣ она плыла двое сутокъ и двѣ ночи не спала; первую потому, что на палубѣ было много пассажировъ и шелъ дождь, вторую— чтобы не проспать Ильинска, такъ какъ пароходъ шелъ дальше. Она сидѣла, облокотясь на столикъ и, смотря въ одно мѣсто, думала. Ее сильно опечалили слова родителя, выразившаго свое неудовольствіе на ея желаніе трудиться, т. е. жить не такъ, какъ живутъ жены чиновниковъ и вообще женщины чиновнаго сословія. Долго она не могла осмыслить слова отца, понявшаго ее совсѣмъ иначе; не понимала она и того, что̀ въ ея намѣреніи онъ видитъ дурного? «Ему хочется пристроить меня, выдать замужъ. Но я этого не хочу. Онъ говоритъ, что работаютъ только мѣщанки, а я знаю, что есть и чиновницы, которыя кормятся тѣмъ, что шьютъ; я знаю одну вдову чиновницу: она даже не стыдится полы мыть, бѣлье стирать, только она пьяница, сама въ кабакъ ходитъ»... И тутъ ей припомнилось все, что она знала объ этихъ личностяхъ. Эти женщины овдовѣли. Замужемъ онѣ были или за недолжностными чиновниками, или хоть и за должностными, но пьяницами. На рукахъ ихъ остались дѣти, которыхъ надо кормить, одѣвать и обучать, чтобы изъ нихъ вышли не мѣщане; а мужья ни пенсіи, ни единовременныхъ пособій имъ не предоставили; денегъ нѣтъ; замужъ ихъ никто не беретъ, потому что онѣ некрасивы, бѣдны, у нихъ дѣти. И вотъ имъ надо жить, и онѣ трудомъ, а не попрошайствомъ, зарабатываютъ себѣ хлѣбъ и кормятъ дѣтей. Стало-быть, и она можетъ работать, тѣмъ болѣе, что она молода и одна. «Отецъ говоритъ, что онѣ живутъ нехорошо». По этому поводу ей припомнилось, что одна ея знакомая чиновница хотя и не бѣдствуетъ, а про нее говорятъ, Богъ знаетъ что, и эта чиновница сама съ рыданіями говорила ей, что это вздоръ, а говорятъ про нее такъ потому, что не вѣрятъ, чтобы женщина могла безъ помощи мужа жить сколько-нибудь сносно. И тутъ же припомнились ей слова этой чиновницы, которой она однажды высказала свое намѣреніе работать. Чиновница сказала: «полноте вамъ, Дарья Андреевна, дурить-то! Что вамъ за необходимость непремѣнно изнурять себя работой, подвергать себя добровольно на мученическую жизнь. Хорошо работать со скуки, а попробовали бы вы съ голоду поработать, зная, что у васъ нѣтъ ни расколотой копейки, а хозяинъ требуетъ за квартиру... Вотъ тогда и покажется тяжело; помянете вы, какъ хорошо было жить у родителя. Да и что за дурь пришла вамъ въ голову работать непремѣнно? отецъ васъ любитъ, мачехи вамъ бояться нечего, родня у васъ богатая: никто не прогонитъ. Богъ дастъ—выйдете замужъ за хорошаго человѣка, барыней будете. Глупите и больше ничего!». Такъ говорила голодная и измученная женщина восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ, и эти слова, въ связи съ словами отца, казались ей жестокимъ приговоромъ ея будущимъ планамъ. «Въ самомъ дѣлѣ, думала она, зачѣмъ мнѣ работать? Кормить меня будутъ; платья у меня есть; родни много. Живи себѣ какъ прочія дѣвицы живутъ... А тамъ меня выдадутъ замужъ, и я буду жить такъ же, какъ и всѣ жены живутъ... Нѣтъ! Не хочу я такой жизни, противна она мнѣ». И съ этими словами онъ вышла изъ бесѣдки, потомъ сѣла

на скамеечку къ пруду и задумалась. Она думала о прошломъ житьѣ.

Развиваться Дарья Андреевна начала подъ вліяніемъ, во-первыхъ, первой мачехи, братьевъ и сестеръ, и во-вторыхъ, подъ вліяніемъ уличныхъ ребятишекъ, принадлежавшихъ больше къ мѣщанскому сословію. Помнитъ она, что ея родители тогда жили хорошо, пользовались въ городѣ большимъ почетомъ, какимъ пользовались очень немногіе. Въ церковь ѣздили на линейкѣ, хотя церковь была и близко, но ужъ такъ заведено было, чтобы ѣздить въ церковь парадно; въ церкви стояли впереди, сестры и братья —около нихъ, всѣ торгаши и чиновники имъ кланялись, а Андрей Иванычъ или ея мать могли даже имъ и не кланяться и даже говорили, что такой-то человѣкъ не стоитъ и того, чтобы ему поклониться. Часто у нихъ сбирались гости и эти гости принадлежали къ важнымъ людямъ, которые ласкали ихъ— дѣтей. Гости эти ѣли хорошія кушанья, пили хорошія вина, чего не было у мѣщанъ (ей случалось это видать съ пятилѣтняго возраста, когда она часто бѣгала къ мѣщанамъ, родителямъ одной дѣвочки Насти, ея одногодки), играли въ карты и плясали подъ скрипку. Современемъ она нашла, что между этою жизнью и жизнью мѣщанъ разница небольшая; мѣщане бѣдны, не имѣютъ чиновничьихъ правъ, должны работать на чиновниковъ и поэтому не могутъ такъ ѣсть, пить и нанимать скрипачей для плясокъ. Но живутъ всѣ одинаково: ѣдятъ, пьютъ, женятся, спятъ и веселятся одинаково каждый по своимъ средствамъ, и поэтому, сближаясь черезъ Настю съ мѣщанами, она находила жизнь мѣщанскую даже лучше жизни ея отца. Настя и другія мѣщанскія дѣти пользовались бо́льшимъ просторомъ, и до тѣхъ поръ, пока родители не находили, что они годны для работы, были предоставлены большею частью самимъ себѣ. Когда же они поступали въ работу, то и тутъ многимъ разнились отъ чиновническихъ дѣтей; главное—они могли выражаться, не стѣсняясь, могли ѣсть, когда хотѣли, если было что̀ ѣсть, и если имъ нечего было дѣлать, могли по вечерамъ свободно играть на улицахъ. Не то было у ея родителя. У Андрея Иваныча строго соблюдался во всемъ порядокъ; вставать полагалось всѣмъ въ одно время, тотчасъ послѣ родителей. Если кто пробуждался раньше родителей, тотъ долженъ лежать; маленькимъ дѣтямъ, которыя еще были не въ силахъ сами на себя надѣвать одежду, строго воспрещалось бѣгать босикомъ по полу, несмотря даже на то, что на полу имѣется коверъ; умываться всѣ должны были разомъ, чтобы не дѣлать большого шуму и хлопотъ, и если кто не хотѣлъ умываться, тому не давали ѣсть. Маленькія дѣти должны были пріучаться къ моленію, и если умѣющій говорить и играть не понималъ смыслу въ молитвахъ— тому тоже не давали ѣсть. Послѣ завтрака или чаю маленькія дѣти должны были играть въ куклы, а дѣти побольше—учить уроки, т. е. зубрить то, что было отмѣчено въ «Начаткахъ» или въ какой-нибудь религіозной книжкѣ. До обѣда дѣтямъ гулять запрещалось. Родители не понимали того, что дѣтямъ необходимъ чистый воздухъ; они думали, что они избалуются, находясь подъ присмотромъ няньки, мать ж до обѣда была занята приготовленіемъ кушаній, и вотъ только послѣ обѣда, когда родители, усталые передъобѣденнымъ трудомъ и насыщенные до изнеможенія, ложились спать, дѣти убѣгали на улицу. Родители старались выработать изъ своихъ дѣтей подобіе себя, и поэтому требовали, чтобы дѣти ходили ровно, говорили не заикаясь, по-дворянскому, подходили къ ручкамъ родственниковъ, мальчики —расшаркиваясь ногами, а дѣвочки—присѣдая, отвѣчали только тогда, когда ихъ спросятъ, и не осмѣливались сами спрашивать о чемъ бы то ни было, такъ какъ дѣтямъ не слѣдуетъ знать, что дѣлаютъ большіе. Играя, дѣти должны были разговаривать вполголоса, вполголоса смѣяться, не кричать, не бѣгать, подъ опасеніемъ просидѣть часа два-три на стулѣ, или лишиться чаю и ѣды. Когда бывали у Андрея Иваныча гости со своими дѣтьми, то они должны были тоже вести себя чинно, меньше разговаривать, подъ тѣмъ предлогомъ, что нехорошо, если дѣти будутъ передавать другъ другу то, что знаютъ изъ отношеній отца къ матери и наоборотъ. Такая система воспитанія, само собою разумѣется, дѣтямъ не нравилась, и они рады были случаю выскочить на улицу къ дѣтямъ мѣщанъ и предаваться шалостямъ въ волю. Эта система сдѣлала то, что дѣти Андрея Иваныча еще въ десятилѣтнемъ возрастѣ умѣли ругаться, капризничали, требовали, чтобы мѣщанскія дѣти уважали ихъ, и старались послѣднимъ всячески сдѣлать какую-нибудь пакость, хотя бы она была самаго неприличнаго свойства. Такъ напримѣръ, плюнуть въ какого-нибудь мѣщанскаго мальчика считалось за геройство, обозвать самымъ неприличнымъ словомъ—удалью; но если это же самое дѣлалъ мѣщанскій мальчикъ, сынъ или дочь Андрея Иваныча плакали или жаловались. Это воспитаніе сдѣлало нѣкоторыхъ дѣтей съ ранняго дѣтства льстецами и фискалами. Такъ Осипъ, чтобы выслужиться передъ отцомъ, постоянно жаловался ему или матери на кого-нибудь изъ меньшихъ братьевъ и сестеръ, и если его жалобы оставались безъ послѣдствій, онъ пускалъ въ дѣло вранье. Отъ этого произошла вражда братьевъ съ братьями, и духъ шпіонства царилъ въ домѣ Яковлева. Мало этого, дѣти даже научились подслушивать у дверей и знали многое изъ отношеній своихъ родителей другъ къ другу.

Дарья Андреевна не была шпіонкой, но ее никто изъ братьевъ и сестеръ не любилъ. Свою настоящую мать она не помнитъ. О ней достаточно у нея было собрано разсказовъ отъ матери Насти, отца и протопопа Третьякова. Всѣ эти люди хвалили ее, и больше ничего. Хотя же она и считала долго вторую жену Андрея Иваныча за настоящую мать, но старшіе братья и сестры смѣялись надъ ней, а уличные ребятишки дразнили ее, что Дарью Андреевну прошибало до слезъ, и только когда Дарья Андреевна стала еще больше смыслить, то стала еще больше любить мачеху, которая была къ ней больше другихъ привязана, какъ потому, что Дарья была ма́ла, такъ и потому, что она очень любила ея маленькихъ дѣтокъ. Старшіе братья и сестры были уже большіе и вели себя, какъ двадцатилѣтній юноша относится къ восьмилѣтнему лѣнивому ученику; они не любили разго-

варивать съ младшей сестрой, которая не понимала того, что дѣлаютъ они; гнали ее отъ себя, когда она мѣшалась въ ихъ забавы, теребили ее за волосы, когда которому-нибудь изъ нихъ приходилось получать наказаніе отъ отца, упрекали ее шпіонствомъ, хотя сами постоянно наушничали на нее отцу. Большую часть дня она оставалась въ кругу сестеръ и братьевъ, и ей много приходилось отъ нихъ терпѣть; на нихъ же она никогда не жаловалась ни отцу, ни матери, ни роднымъ, да и ни отецъ и ни мать не чувствовали того, что чувствовала ихъ дочь. Они не понимали, что ихъ дочери больно, и только удивлялись, отчего это она не толстѣетъ, отчего она не веселая, постоянно молчитъ и глаза у нея заплаканы. Любить своихъ старшихъ братьевъ и сестеръ Дарья Андреевна не могла; она даже боялась ихъ, и только любила меньшаго брата Кузьму, который до пятилѣтняго возраста былъ тяжелымъ бременемъ для родителей, потому что почти до пяти лѣтъ не ходилъ, плохо говорилъ и часто хворалъ, оставаясь большею частью безъ надзора. У мачехи были другія меньшія дѣти, требующія присмотра; отцу же было все равно, будетъ онъ жить, или нѣтъ, а изъ этого произошло то, что болѣзнь его была предоставлена волѣ Божіей. Хотя же отецъ и обращался съ Дарьей Андреевной ласково, часто сажалъ ее къ себѣ на колѣни, даже цѣловалъ больше другихъ дѣтей, ставилъ ее въ примѣръ за обѣдомъ, но она отца все-таки боялась, потому что онъ и ласки свои начиналъ какъ-то издалека, и онѣ исходили только тогда, когда онъ былъ въ спокойномъ настроеніи. Ей и отъ отца нерѣдко случалось получать наказанія за какую-нибудь неосторожность, или по какой-нибудь жалобѣ братьевъ и сестеръ. Разобьетъ ли кто-нибудь любимую чашку отца—сваливаютъ на Дарью, прольетъ ли кто-нибудь въ кабинетѣ отца чернила или начертитъ на стѣнахъ карандашомъ,—жалуются на Дарью. Отецъ станетъ допрашивать дѣтей не хуже любого слѣдователя, всѣ отпираются; отецъ наказываетъ всѣхъ—достается и Дарьѣ. Поэтому, считая отца за добраго человѣка, она все-таки боялась его, и у нея проявлялось къ нему недовѣріе. Она еще маленькой дѣвочкой думала: «отчего отецъ не правъ, и отчего у нихъ въ домѣ все дѣлается не такъ, какъ у людей бѣдныхъ?».

Изъ своихъ родныхъ она любила больше всего протопопа Сергія Иваныча Третьякова. Сергій Иванычъ имѣлъ только одну дочь, которая была замужемъ за Андреемъ Иванычемъ. Это была вторая жена Яковлева. Протопопъ былъ до того религіозенъ, что послѣ смерти своей жены хотѣлъ постричься въ монахи, но его удержало то, что онъ не кончилъ курса въ академіи и поэтому не могъ разсчитывать на то, что будетъ когда-нибудь архіереемъ. Оставшись вдовцомъ, онъ сталъ служить въ церкви каждый праздникъ, читалъ книги духовнаго содержанія и все свободное время посвятилъ на образованіе юношества. Хотя это образованіе и не обходилось безъ розогъ и другихъ истязаній, которыя онъ выдумывалъ, но дѣти его любили за то, что онъ говорилъ съ ними обо всемъ, что бы они ни спрашивали, и дозволялъ имъ шалить въ то время, когда онъ не занимался. Съ Дарьей Андреевной онъ былъ очень нѣженъ, ласкалъ ее, дарилъ что-нибудь и любилъ разсказывать о житіи святыхъ, а иногда разсказывалъ и сказки. Она его нисколько не боялась, была у него весела, смѣялась и онъ ея не называлъ иначе, какъ «моя козочка», и всегда, когда она не была у него цѣлую недѣлю, онъ спрашивалъ свою дочь или Андрея Иваныча: «а что вы мою козочку не пустите ко мнѣ; стосковался я объ ней». Онъ ее сталъ учить грамотѣ и, въ теченіе пяти лѣтъ, даже обучилъ первымъ правиламъ ариѳметики и грамматики. Дальнѣйшее преподаваніе онъ считалъ безполезнымъ на томъ основаніи, что дѣвочекъ не для чего утруждать науками, такъ какъ имъ не быть ни священниками и ни стряпчими, а назначеніе ихъ состоитъ въ томъ, чтобы помогать мужьямъ, или быть въ домѣ хозяйками и воспитывать дѣтей въ послушаніи и въ страхѣ Божіемъ. И когда бывшій въ то время въ Ильинскѣ городничій предложилъ Третьякову завести въ городѣ училище для дѣвочекъ, то онъ даже вспылилъ. Съ тѣхъ поръ о женскомъ училищѣ въ Ильинскѣ больше никто не заикался. Но въ домѣ Третьякова Дарья Андреевна отдыхала отъ всего, что она выносила у своихъ родителей; у него была тишина, и даже бывало страшно въ пустыхъ комнатахъ, когда онъ уходилъ куда-нибудь на требу. Вотъ въ это-то время она и стала сближаться съ мѣщанскими дѣтьми, и онъ никогда за это выговоровъ не дѣлалъ. Когда же разъ онъ остался недоволенъ ею, что она не пришла ужинать, а играла съ дѣвочками, и она спросила его: почему ей нельзя играть съ мѣщанскими дѣтьми, а съ чиновническими можно?—то онъ сказалъ:

— Мѣщане грубы, невѣжи, а чиновники люди благородные. Отъ нихъ и дѣти такія же выходятъ.

— Такъ и я благородная? Что̀ это такое?... Что значитъ благородство?

— Значитъ быть вѣжливымъ, благовоспитаннымъ, памятуя, что ты будешь имѣть въ будущемъ общество дворянъ, вездѣ принятыхъ, а не мѣщанъ, которые созданы только для того, чтобы работать.

— Но какъ же Господь сказалъ, что мы всѣ равны?

— Объ этомъ никто и не споритъ; только люди съ давнихъ временъ сдѣлались такими, что ихъ нельзя равнять. Напримѣръ я пастырь, а твой отецъ стряпчій. Я хожу въ царскія врата, а отецъ не имѣетъ права, и не можетъ даже надѣть ризы. Такъ и мѣщанинъ. Для всѣхъ установлены законы, каждому человѣку назначено мѣсто. Нужно помнить, что отецъ твой—власть, а мѣщанинъ—простой обыватель, а въ священномъ писаніи сказано: всякая душа властямъ предержащимъ да повинуется.

Такъ объяснялъ Третьяковъ, но у Дарьи Андреевны вслѣдствіе этого появлялись вопросы: отчего это такъ? зачѣмъ существуютъ подраздѣленія? А такъ какъ ей много приводилось видѣть такого, что разъединяло черный народъ отъ бѣлаго, хотя этотъ народъ и принадлежалъ къ одному племени, то въ голову ей не разъ западала мысль: почему бѣдные люди—бѣдны? зачѣмъ существуютъ люди, которыхъ называютъ рабочими и обращаются съ ними невѣжливо? Но всѣхъ этихъ вопросовъ она не могла разрѣшить. Отца раз-

спрашивать она не смѣла, старшіе братья и сестры держали себя съ нею такъ, что ихъ объ этомъ спрашивать не стоило; мѣщанскія же дѣвушки хотя и задавали себѣ подобные вопросы, но говорили, что все это происходитъ оттого, что онѣ родились мѣщанами, и бѣдны потому, что есть богатые и есть бѣдные,—такъ что эти вопросы запутывались еще больше и разрѣшить ихъ Дарьѣ Андреевнѣ не было никакой возможности. Спросила она объ этомъ своего дѣдушку—Третьякова, онъ сказалъ съ неудовольствіемъ: откуда это у нея въ головѣ такія мысли бродятъ?—и далъ ей прочитать одну изъ книжекъ «Житія благочестія».

Чѣмъ больше подростала Дарья Андреевна, тѣмъ больше у нея являлось желаніе больше знать, и она съ жадностью хваталась за всякую книгу, но и въ этихъ немногихъ книгахъ ея приходилось читать преимущественно о любви; серьезнаго же чтенія она не понимала; оно было до того тяжело для нея, что она дремала и въ головѣ чувствовалась или пустота, или тяжесть, и когда она мучилась безсонницей, то какія-то непонятныя слова то и дѣло роились въ ея головѣ. Журналы хотя и выписывались судьей и исправникомъ, но ихъ достать было довольно трудно, и притомъ каждая книжка разрѣзывалась только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть легкая и забавная для чтенія беллетристика. Но и въ этомъ чтеніи она все-таки могла отличать кое-что похожее на дѣйствительность отъ извращенія, и больше всего любила описаніе простой жизни, похожей на ихъ ильинскую, очерки и начинавшіеся въ то время печатные разсказы и сцены изъ простонародной жизни. Сочиненія Гоголя она читала съ упоеніемъ нѣсколько разъ, и даже запомнила изъ него очень многое, тогда какъ ея отецъ терпѣть не могъ читать «Мертвыя души» и «Ревизора», называя ихъ пасквилями на дворянство и клеветой, за что, какъ онъ говорилъ, этого сочинителя надо бы отдать подъ уголовный судъ. Съ годами литература наша стала лучше и въ ней стали затрогиваться — даже въ беллетристикѣ—многіе вопросы, но хорошихъ журналовъ въ городѣ не было, въ чтеніи ихъ ильинскіе обыватели не имѣли надобности. Сестры и братья ея любили читать только смѣшное или что-нибудь въ родѣ приключеній, а Марья даже перечитала два раза «Училище благочестія»; ея же мѣщанскія подруги читать вовсе не умѣли, и онѣ, если она пробовала имъ что-нибудь читать, зѣвали или заговаривали о другомъ. Исключеніе изъ этого составляла только одна Анисья Осиповна, которая сочувствовала Дарьѣ Андреевнѣ и съ которой она всегда говорила о чемъ-нибудь прочитанномъ, о людяхъ, въ средѣ которыхъ онѣ живутъ, высказывала свои взгляды, такъ что родители, подслушавши ихъ сужденія, называли ихъ обѣихъ набитыми дурами на томъ основаніи, что эти разговоры молоденькихъ дѣвушекъ казались имъ непонятными, глупыми и ни къ чему не ведущими.

До Марины Осиповны (третьей жены Андрея Иваныча) все еще было сносно. Но когда она воцарилась въ домѣ, то видя Дарью Андреевну за книжкой, не разбирая, какого содержанія эта книга, она выхватывала ее, уносила и заставляла Дарью Андреевну что-нибудь дѣлать. А дѣла у Марины Осиповны находилось всегда много: если нечего было шить, вязать или вышивать,—на что она налегала сильно, то хоть бѣлье перебирай, перебирай посуду, чисти платье или что-нибудь. Чтеніе, по ея понятіямъ, составляло бездѣлье, отлыниваніе отъ дѣла, хотя сама она и не любила ничего дѣлать, и дѣти часто заставали ее въ спальной лежащею на кровати съ какой-нибудь книгой.—что конечно еще болѣе раздражало Дарью Андреевну, которая поэтому была рада-радехонька, если предстоялъ ей случай идти зачѣмъ-нибудь въ домъ Зиновьева, просидѣть тамъ съ Анисьей Осиповной если не цѣлый день, то хоть часа два-три, несмотря даже на то, что мачеха ругала ее, какъ только могла и грозилась никогда не пускать ея изъ дома.

Иногда Андрей Иванычъ говорилъ въ веселомъ расположеніи Маринѣ Осиповнѣ при дѣтяхъ, что вотъ скоро Дарья будетъ и невѣста, скоро ее будутъ сватать, опять новыя хлопоты. На это Марина Осиповна, закусивъ губы, отмалчивалась и качала головой, и потомъ отвѣчала, что такую гордячку и взбалмошную дѣвчонку не возьметъ замужъ ни одинъ порядочный человѣкъ, а что она или попадетъ въ руки пьяницѣ, или останется въ дѣвкахъ, и намекала на то, что Андрей Иванычъ старъ, а на нее, Марину Осиповну, она много не можетъ надѣяться. Андрей Иванычъ дѣлалъ видъ, что пропускаетъ эти слова мимо ушей, и только когда она сильно надоѣдала ему ими, говорилъ, что послѣ смерти Дарью пріютитъ его старшій сынъ. Изо всѣхъ этихъ разговоровъ Дарья Андреевна поняла, что ее хотятъ какъ можно скорѣе столкать замужъ, и это ее очень печалило. Изъ книгъ, прочитанныхъ ею, она знала, какъ влюбляются люди, и знала, что молодая дѣвушка большею частью выходитъ не за молодого красавца, а за старика, потому что онъ имѣетъ домъ и деньги. Она знала многихъ дѣвушекъ изъ чиновнаго класса, вышедшихъ за некрасивыхъ и пожилыхъ чиновниковъ, часто бывала на свадьбахъ и слушала сужденіе барышенъ, которыя находятъ въ томъ или другомъ женихѣ множество недостатковъ; въ городѣ было два случая, что два купца женились на чиновническихъ дочеряхъ и били ихъ; она видала много сценъ такого рода, что мужья часто бьютъ своихъ женъ, которыя отъ этого плачутъ, терпятъ отъ нихъ всякія непріятности, потому что онѣ не умѣютъ защищаться; видала она также многихъ мѣщанокъ, заработывающихъ хлѣбъ для своихъ семействъ, тогда какъ ихъ мужья ничего не дѣлаютъ, а только пьянствуютъ,—и все это ее возмущало. «Зачѣмъ мнѣ выходить замужъ?»—спрашивала она себя. «На что мнѣ мужъ? Развѣ я не могу одна жить?»—И она рѣшила, что отъ нея хотятъ избавиться для того, чтобы на нее не тратиться.

— Ты будешь чиновница, хозяйка въ домѣ мужа; у тебя будутъ свои дѣти, свои заботы,—говорилъ ей Третьяковъ, когда она обратилась къ нему за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ.

— Но если я не хочу идти замужъ?

— Вы всѣ женщины говорите это до свадьбы. Нѣтъ человѣка въ мірѣ, чтобы онъ не любилъ кого-нибудь.

«Отчего же говоритъ это дѣдушка протопопъ, если онъ не имѣетъ жены?»—спрашивала она себя, и по-

томъ вспомнились городскія сплетни о двухъ мѣщанкахъ. Хотя же протопопъ рѣдко читалъ свѣтскія книги, но онъ городскую жизнь зналъ хорошо, но объяснялъ ее по-своему. «Онъ говоритъ, что безъ любви никто не можетъ жить». Но книги ей мало разъясняютъ вопросъ Она поняла, что можно выйти замужъ по любви: но зачѣмъ же, если у нея нѣтъ желанія, выходить только изъ-за того, чтобы пристроиться, если у нея нѣтъ мужчины, котораго бы она любила. Мало ли есть молодыхъ людей, съ которыми она играла, но ни къ одному у ней нѣтъ привязанности. Она только и любитъ одного брата Кузьму, и вотъ съ нимъ она бы не разсталась никогда.

«Нѣтъ, я не пойду замужъ. Никогда меня не выдадутъ насильно, какъ выдаютъ другихъ дѣвушекъ». Такъ думала она сперва. Потомъ, слушая разсказы, какъ такая-то женщина не нахвалится своимъ житьемъ, видя, какъ жены рыдаютъ, провожая своихъ покойниковъ-мужей до могилы, она ужъ не прочь была выйти замужъ, но за такого мужчину, который бы хотя былъ и мѣщанинъ, зато молодъ, красивъ, любилъ бы ее, не пьянствовалъ и не билъ. Чѣмъ дальше она думала и разсуждала съ Настей и Анисьей Осиповной объ этомъ, тѣмъ больше ей захотѣлось такой жизни; она даже не прочь была выйти замужъ за человѣка бѣднаго, но честнаго. «И какъ бы было хорошо: онъ бы работалъ, и я бы стала работать». Одно только безпокоило ее: «а что, если мой мужъ умретъ; куда я дѣнусь съ дѣтьми, если не останется ни дома, ни денегъ?» Останется одно—поселиться у отца. А этого ей не хотѣлось, не хотѣлось потому; что она тогда больше прежняго подчинится мачехѣ. Такъ она думала въ пятнадцать лѣтъ. Но тутъ явилось такое обстоятельство, которое заставило ее измѣнить свое желаніе выйти замужъ.

Однажды въ городѣ разнесся слухъ, что пріѣдетъ какая-то коронная повивальная бабка. И вотъ разъ къ Андрею Иванычу пришла молодая женщина, одѣтая, какъ одѣваются жены достаточныхъ чиновниковъ. Ее встрѣтилъ Андрей Иванычъ и думалъ, что она пришла по какому-нибудь дѣлу, но она назвалась повивальною бабкою, пріѣхавшею изъ столицы. Андрей Иванычъ пригласилъ ее въ залу, и позвалъ Марину Осиповну. Онъ былъ очень вѣжливъ, завидовалъ Марьѣ Васильевнѣ, и въ особенности тому, что она будетъ получать жалованье, все равно, какъ чиновники; Марина Осиповна, плохо понимая то, какимъ образомъ такая наряженная барыня можетъ заниматься такимъ ремесломъ, которымъ занимаются старухи-мѣщанки, была съ ней суха и выслала дѣтей прочь. Когда же она ушла отъ нихъ, то родители остались очень недовольны визитомъ повивальной бабки. Остались недовольными и другіе аристократы. Стали говорить, что Марья Васильевна дочь мѣщанина, имѣла любовника и отъ него дочь, которая умерла, а когда любовникъ бросилъ ее, она стала обучаться повивальному искусству и выучившись поѣхала въ провинцію на казенную должность. Оказалось, что ни Андрей Иванычъ, ни Марина Осиповна и ни одна власть въ городѣ не понимали: для чего это прислали изъ столицы барыню-повитуху, когда въ городѣ есть свои излюбленныя повитухи, которыя отлично умѣютъ животы править и умѣютъ вылѣчивать отъ какой угодно болѣзни, и для чего барынѣ нужно платить жалованье, когда она не мужчина? Всѣ сердились на то, что она, повитуха, осмѣливалась дѣлать визиты благовоспитаннымъ ильинскимъ барынямъ, дочери которыхъ то и дѣло толкуютъ объ ней, стараются вывести изъ ея должности различныя затрудненія и пристаютъ къ родителямъ съ различными вопросами. Всѣ въ ея должности нашли много нехорошаго, всѣ на первыхъ порахъ отшатнулись отъ нея, стали издѣваться, говорить все, что въ голову влѣзетъ, и она была предметомъ насмѣшекъ и разговоровъ. Изъ-за нея даже ссорились братья и сестры, жены ревновали мужей. Стали говорить, что она не ходитъ въ церковь, въ постъ ѣстъ скоромное, по ночамъ у нея долго горитъ огонь; разъ кто-то сказалъ, что ее видѣли съ книжкой; другой разъ откуда-то явился слухъ, что у нея ночью видѣли мужчину, а что днемъ она постоянно разговариваетъ съ разными писцами,—это считали рѣдкостью и ее стали караулить. Но ничего предосудительнаго не укараулили. Больше всего на нее злились и сплетничали городскія повитухи, которыя, боясь, что она отобьетъ у нихъ богатыхъ больныхъ, говорили, что эта модница ничему не училась и ничего не знаетъ, а послана сюда или въ ссылку, или по протекціи какого-нибудь важнаго любовника. Но какъ вообще все въ маленькомъ городишкѣ надоѣдаетъ и прискучиваетъ, и жизнь съ ея интересами подъ конецъ становится на прежній порядокъ, такъ и Марью Васильевну оставили въ покоѣ, и исправничиха первая пригласила къ себѣ Марью Васильевну, а за ней стали приглашать и другія, даже сама Марина Осиповна. Оказалось, что Марья Васильевна, барыня добрая, терпѣливая, дѣло свое знаетъ отлично, никакъ не хуже простой повитухи и ничѣмъ не обижается. Всякая барыня старалась ей дать больше и спрашивала у нея: «а что, исправничиха сколько дала вамъ?» Мало-по-малу нехорошо говорить про нее стали только однѣ повитухи, городская же аристократія стала считать ее своею, да и тѣ говорили только, что она читаетъ книжки и что ей надо много платить, потому что она получаетъ маленькое жалованье.

Появленіе женщины служащей, получающей жалованье и квартиру, въ Ильинскѣ было новостью, и эта новость возбудоражила на первыхъ порахъ не одну благовоспитанную дѣвицу: всѣмъ захотѣлось сдѣлаться повивальными бабками. Это желаніе проистекало изъ того, что многимъ у родителей жизнь была тяжелая—въ ней не было свободы; сдѣлавшись же повивальною бабкою, предполагалось возможнымъ скорѣе и лучше найти жениха по вкусу. Дарья Андреевна тоже крѣпко призадумалась. Должность пріѣзжей повивальной бабки хотя и казалась ей несовсѣмъ привлекательной, но за то хорошею въ томъ отношеніи, что она будетъ свободна. Тогда ей не для чего будетъ выходить замужъ: у нея будетъ жалованье, деньги. Но разспросить Марью Васильевну, какимъ образомъ ей можно выучиться этому занятію, она стыдилась. Кромѣ того, ей не удавалось поговорить съ Марьей Васильевной потому, что у нихъ повивальная бабка, во время болѣзни мачехи, оста-

валась недолго и рѣдко обѣдала, и то въ кругу семейства, когда ей заводить вопросы о повивальномъ искусствѣ было неловко. Однако мысль сдѣлаться чѣмъ-нибудь самостоятельнымъ крѣпко засѣла въ головѣ Дарьи Андреевны. Если повивальное искусство казалось ей труднымъ и нехорошимъ, то она находила хорошимъ швейное занятіе. Въ Ильинскѣ были всего двѣ женщины-мѣщанки, которыя шили на купчихъ и должностныхъ чиновницкихъ женъ; въ Егорьевскѣ она знала три магазина, въ которыхъ шили дѣвушки, подъ наблюденіемъ нѣмокъ и француженокъ. И вотъ она однажды сказала отцу:

— Папаша, отпустите меня въ модный магазинъ: хочу учиться шить.

— Развѣ ты не умѣешь шить и вышивать?

— Я хочу модныя платья шить.

— Для чего? Замужъ выйдешь, и если за богатаго, то мужъ будетъ отдавать портнихамъ. Все это глупости. Барышнѣ негодится заниматься шитьемъ съ дѣвчонками, у которыхъ и родителей-то настоящихъ нѣтъ, которыя по ночамъ то и дѣло по бульвару шатаются.

Сказать же, для какой цѣли она хочетъ быть швеей, она побоялась тогда. Она еще убѣждена была въ томъ, что дѣйствительно неловко ей, чиновнической дочери, жить у мамзелей, считающихся развратными женщинами, которымъ отдаютъ работу потому, что кромѣ нихъ некому хорошо шить модныя платья.

Но вотъ отецъ лишился стряпческой должности, должности очень прибыльной; дядя Ипполитъ Аполлоновичъ взялъ ее къ себѣ жить, у дяди было очень скучно. Притомъ же она была у него и его жены все равно, что работница, такъ какъ они держали только одну кухарку, и она постоянно подавала гостямъ чай и кушанья. Въ этомъ городѣ она познакомилась съ городскими швеями и особенно съ двумя часто сидѣла на берегу рѣки иногда далеко за полночь. Отъ этихъ дѣвицъ Дарья Андреевна узнала, что швейное мастерство, во-первыхъ, дается нелегко, а во-вторыхъ, мало обезпечиваетъ; въ дѣвицахъ она замѣтила мало согласія, и даже замѣтила, что одна изъ нихъ дѣйствительно гуляетъ съ гимназистомъ. Обѣ ея знакомки ругали свою хозяйку за то, что она ихъ обременяетъ работою, платитъ мало, скверно кормитъ и имъ даже невозможно заработать что-нибудь со стороны, потому что ихъ заставляютъ работать и въ праздничные дни. Эти же дѣвицы говорили также, что ихъ старшая мастерица, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, жила у хозяйки такъ же, какъ и онѣ жили, но вслѣдствіе худого заработка, не могущаго прокормить ея больную мать и маленькаго брата, имѣла нѣсколько любовниковъ, которые ей платили хорошо, и теперешній ея любовникъ даже будто бы хочетъ жениться на ней,—что очень можетъ быть, такъ какъ она красивая, только чахоточная. Но у дяди Дарья Андреевна прожила только съ мѣсяцъ. Пріѣхала къ нему Марина Осиповна съ Андреемъ Иванычемъ. Андрею Иванычу очень не нравилось, что дочь его живетъ у брата какъ будто въ услуженіи, и потому онъ придумывалъ средство, какъ бы взять ее оттуда. Тогда Марина Осиповна предложила монастырь, съ тѣмъ чтобы послать ее туда до замужества, тѣмъ болѣе, что въ монастырѣ жила ея тетка. Попавши въ монастырь, Дарья Андреевна съ перваго же дня поняла, что эта жизнь далеко не соотвѣтствуетъ ея планамъ. Въ Ильинскѣ и въ другихъ городахъ она была гораздо свободнѣе, чѣмъ тутъ. Тамъ хотя и бранили ее, но она могла куда-нибудь сбѣгать; здѣсь же все было размѣрено, разсчитано, подлажено такъ, что нужно было дѣлать то, что всѣ дѣлаютъ, въ противномъ случаѣ ее ждало наказаніе. Сперва она жила у настоятельницы, которая приходилась Маринѣ Осиповнѣ двоюродной теткой и конечно не могла любить падчерицу своей племянницы, которая въ письмѣ рекомендовала ее, какъ дѣвушку гордую, непочтительную и прочее. Она сдѣлала изъ Дарьи Андреевны служку себѣ; но эта обязанность, которой домогались многія, ей не понравилась, потому что настоятельница была капризная, злая и съ ней ужиться было можно только идіоту. Она съ утра и до вечера ворчала; дѣвицъ воспитанницъ, которыхъ жило въ монастырѣ штукъ сорокъ, она безъ церемоніи била по щекамъ, ставила на колѣни во время обѣда, запирала въ холодный подвалъ на недѣлю тѣхъ, которыя замѣчены были ею въ церкви въ чемъ-нибудь безнравственномъ, хотя, какъ говорили монахини, она каждый годъ толстѣетъ и каждый годъ ѣздитъ въ сосѣдній монастырь. За трапезу садились всѣ, даже сама настоятельница; въ это время одна изъ монахинь или воспитанницъ читала житіе какого-нибудь святого, всѣ молчали, но пища была скудная: черствый кусокъ ржаного хлѣба и какая-нибудь похлебка или, большею частью, горошница, хотя всѣ знали, что настоятельница показываетъ въ отчетахъ расходы на рыбу, масло, булки и крупу; знали также, что послѣ всеобщей трапезы дома настоятельница обѣдала изобильно, съ выпитіемъ двухъ рюмокъ наливки, и послѣ обѣда спала по два часа. Зимою въ комнатахъ было холодно, а теплой одежды не было; монахини и воспитанницы часто хворали, а докторъ призывался только въ рѣдкихъ случаяхъ. По правиламъ этого монастыря воспитанницъ отдавали замужъ за кончившихъ курсъ семинаріи, по предложенію епархіальнаго или викарнаго архіерея, съ тѣмъ, что изъ капитала воспитанницъ и процентовъ съ монастырскихъ капиталовъ выдавалось имъ еще приданое и сто рублей денегъ, но этихъ денегъ, при выходѣ замужъ, воспитанницы не получали, потому что настоятельница, предлагая деньги жениху, тонко намекала, что она выберетъ ему самую хорошую воспитанницу, а о деньгахъ дескать заботиться нечего, потому что онъ получаетъ доходное мѣсто. Поэтому женихъ или не бралъ вовсе денегъ, или бралъ только часть. Если же онъ бралъ всѣ, то, женившись, ждалъ мѣста больше года, или поступалъ въ свѣтское званіе. Кромѣ этого, еще много было причинъ, по которымъ настоятельницу ненавидѣли воспитанницы, а въ городѣ ходили про нее весьма компрометирующіе слухи. Отъ этого, можетъ-быть, и происходило въ монастырѣ наушничество, лесть и лицемѣріе; ежедневно настоятельница дѣлала кому-нибудь выговоръ, а безъ наказаній, болѣе или менѣе жестокихъ, не проходило ни одной недѣли. Съ монахинями настоятельница обращалась, какъ съ крѣпостными: сажала ихъ въ темные, холодные подвалы, просидѣвши въ которыхъ недѣлю, мо-

нахиня обыкновенно заболѣвала. Отъ этого монахини заискивали у воспитанницъ, на которыхъ больше всего обращала вниманіе настоятельница. Онѣ готовы были сдѣлать что угодно для любимой настоятельницею воспитанницы, такъ что бывали случаи, что, будучи отпущены въ городъ, онѣ носили отъ воспитанницъ письма къ ихъ любовникамъ и устраивали свиданія у садовой рѣшотки. Вражда въ монастырѣ была всеобщая, каждая видѣла въ другой доносчицу; всѣ сплетничали, попрекали другъ дружку любовниками. Воспитанницы были вполнѣ забиты монастырскою жизнію; если онѣ попадали туда съ семилѣтняго возраста и если были некрасивы, то должны были постричься—ужъ таковъ былъ взглядъ настоятельницы. То же было и съ красивыми, у которыхъ не было родни. Монахини жили день за днемъ, терпя ругань: онѣ уже стерпѣлись, и у нихъ была только одна мечта—выбраться изъ этого монастыря и попасть въ другой, или отправиться путешествовать съ кружкой. Однѣ изъ нихъ пошли въ монастырь по влеченію, но разочаровавшись махнули рукой на все; другія пошли съ отчаянія, потому что имъ, одинокимъ въ мірѣ, страшно казалось жить, а въ монастырѣ готовая квартира, хлѣбъ; но эти потомъ раскаялись: онѣ были молоды, онѣ могли любить; третьи пошли сдуру, такъ себѣ, и плачутся на все и на всѣхъ. Бывали даже случаи, что монахини убѣгали изъ монастыря.

Въ монастырь часто ходили женщины—ханжи-чиновницы, мѣщанки, большею частью дѣвы. Онѣ лицемѣрили и подлаживались къ монастырскому начальству, которое, вѣря въ ихъ добрую нравственность, отпускало къ нимъ воспитанницъ, а иногда и монахинь, и вотъ у этихъ-то женщинъ воспитанницы ближе сходились съ молодыми мужчинами. Эти сходки приносили доходъ или настоятельницѣ, или казначейшѣ, или ризничной и т. п. лицамъ, такъ что эти женщины эксплоатировали воспитанницъ и въ свою, и въ монастырскую пользу, а дѣвицы оставались ни при чемъ, кромѣ идеаловъ. Но однако случалось, что какая-нибудь страстная натура и увлекалась, и за это отвѣчалъ уже *предметъ*, платящій дань ханжѣ, а ханжа отвѣчала передъ довѣрившими ей лицами дорогими акафистами, молебнами, подарками и разстраивала жизнь дѣвушки навѣки.

Само собою разумѣется, что Дарья Андреевна, выросшая въ кругу такихъ людей, которые не допускали безнравственности, была сильно возмущена всѣмъ ею видѣннымъ, и ей пришлось много терпѣть въ душѣ, потому что она не хотѣла кляузничать или даже вслухъ относиться ко всему критически, а вела только свой дневникъ украдкой отъ монахини, къ ней назначенной. За какую-то провинность настоятельница прогнала ее отъ себя и заставила днемъ работать въ огородѣ, а вечеромъ до 8 часовъ шить. Работа эта ей нравилась, потому что она ее развлекала; она бо́льшую часть дня была на воздухѣ, а въ залѣ, гдѣ шили послѣ обѣда, ее оставляли безъ вниманія. Въ семь часовъ запирали ворота монастыря, и всѣ монастырки должны были ложиться спать. Къ счастію, приставница попалась ей такая, которая находила возможность въ девять часовъ вечера уходить въ садъ и брать ключъ съ собой; тогда она предавалась своимъ мыслямъ. Случалось, что эта монахиня забывала затворить дверь, и тогда Дарья Андреевна уходила въ садъ. Въ саду она или сидѣла, наблюдая за движущимися тѣнями въ окнахъ подвижницъ, или ходила по саду. Разъ она услыхала шопотъ... То былъ шопотъ ея приставницы и мужской. Но она не подала вида. Черезъ мѣсяцъ ея приставницу увезли въ другой монастырь и на мѣсто ея приставили новую. Вышиванье было трудное—больше на золотѣ, серебрѣ и шелкѣ, и такъ какъ Дарья Андреевна научилась вышивать еще дома, то въ монастырѣ давали ей самую трудную работу, за которой она просиживала по нѣскольку часовъ сряду. Нерѣдко она просила настоятельницу избавить ее отъ этой работы на нѣсколько времени, но настоятельница упрекала ее лѣнью и сыпала ей назидательными словами изъ священнаго писанія. Проживши въ монастырѣ два мѣсяца, Дарья Андреевна затосковала объ отцѣ, о роднѣ и о родномъ городѣ; ей опротивѣла монастырская жизнь, ей захотѣлось домой. Она написала отцу письмо, въ которомъ подробно изложила монастырскую жизнь. Отецъ посовѣтовалъ ей терпѣть до поры до времени, и высказывался, что онъ вовсе не хочетъ сдѣлать ее монахиней, а послалъ туда на время, и какъ только сыщется женихъ, онъ ее возьметъ обратно. Теперь ясно стало Дарьѣ Андреевнѣ, зачѣмъ отецъ стурилъ ее въ монастырь. Слова его означаютъ, что онъ какъ будто не въ состояніи содержать ее у себя дома, и ей представилась въ худомъ видѣ вся безалаберность ея родителя. А если не будетъ жениха? Тогда она всю жизнь останется въ монастырѣ. Вѣдь отецъ и умереть можетъ. А если выйти изъ монастыря? — Но какъ? Какъ и чѣмъ жить тогда?—Шитьемъ. Вѣдь вонъ въ городѣ есть же швеи-мѣщанки и чиновницы, которыя живутъ самостоятельно. Одно—найдетъ ли она работу? И ей захотѣлось познакомиться съ какою-нибудь мѣщанкою или чиновницею.

До сихъ поръ въ городѣ она бывала рѣдко. Теперь она познакомилась съ одною мѣщанкою лѣтъ сорока, посѣщавшею монастырь больше другихъ. Этой женщинѣ она украдкой отъ другихъ воспитанницъ и монахинь предложила продать вязаную салфетку. Мѣщанка похвалила Дарью Андреевну за работу, продавать не совѣтовала, а просила связать ей такого же фасона, только побольше и просила слѣдующее воскресенье къ себѣ въ гости. У этой мѣщанки, Акулины Петровны, между прочими гостями-женщинами, она отличила дѣвицу, лѣтъ 19-ти, Маремьяну Петровну Потапову, дочь чиновника, которая вела себя очень сдержанно, рѣдко съ кѣмъ заговаривала, а больше шила. Съ ней Дарьѣ Андреевнѣ привелось перекинуться нѣсколькими словами. Маремьяна Петровна какъ будто стыдилась завести знакомство съ монастыркой, которая, можетъ, быть-только и думаетъ о монашествѣ, а Дарьѣ Андреевнѣ было неловко при женщинахъ, еще незнакомыхъ ей, навязываться со своимъ знакомствомъ неизвѣстной дѣвушкѣ. Когда хозяйка, проводивши гостей, пошла провожать Дарью Андреевну, то на спросъ ея, кто такая Маремьяна Петровна, мѣщанка насказала ей

всякой всячины. Изъ ея словъ оказалось, что эта дѣвица дочь промотавшихся родителей, которые дошли до того, что отецъ нанялся извозчикомъ, а мать сидитъ въ кабакѣ цѣловальничихой; дѣло свое они до того ведутъ нечестно, что въ городѣ слывутъ за отчаянныхъ мошенниковъ, отчего всѣ благородные люди отшатнулись отъ нихъ. Каковы родители, таково должно быть и дѣтище; поэтому Маремьяна Петровна дѣвица разгульная. И нечиста на руку. Хотя она и работаетъ, но потому, что ее стыдятъ честныя женщины, бьющіяся какими-нибудь десятью копейками въ сутки и сносящія всякія непріятности отъ богатыхъ людей. Но и тутъ имъ поддержать разгульную дѣвицу довольно трудно, и онѣ, честныя женщины, часто по вечерамъ замѣчаютъ около ея лачуги какихъ-то бродячихъ шалопаевъ изъ чиновнаго сословія, а по праздникамъ Маремьяна Петровна вмѣсто того, чтобы идти въ церковь и потомъ послѣ обѣда заниматься душеспасительнымъ чтеніемъ, въ обѣдню шляется по рынку, амурничаетъ съ чиновниками, а послѣ обѣда трется на бульварахъ или на загородныхъ гуляньяхъ. Радѣя о благочестіи, она, Акулина Петровна, съ другими благочестивыми женщинами, старается эту потаскуху обратить на истинный путь, и поэтому, приглашая ее къ себѣ, не дѣлаютъ ей явныхъ упрековъ, такъ какъ это только больше раздражаетъ, а занимаютъ ее душеспасительными бесѣдами. Несмотря на положительность этого отзыва, Дарья Андреевна нашла, что разсказчица, кажется, ужъ черезчуръ переувеличиваетъ, потому что во все время, какъ она сидѣла у Акулины Петровны—часа три—о душеспасительныхъ разговорахъ и помину не было, а всѣ женщины занимались сплетнями. Поэтому у Дарьи Андреевны явилось подозрѣніе; ей захотѣлось познакомиться съ Маремьяной Петровной. Но въ слѣдующее воскресенье Маремьяна Петровна не пришла; на другое воскресенье Дарья Андреевна, находившаяся въ числѣ пѣвчихъ, увидала ее съ хоръ стоящею у малаго клироса. Она вела себя такъ чинно въ церкви, такъ усердно молилась на колѣняхъ, что ее нельзя было заподозрить въ чемъ-нибудь нехорошемъ. Когда по окончаніи обѣдни клирошанки пошли провожать настоятельницу съ пѣніемъ, то Дарья Андреевна, отдѣлившись немного отъ другихъ, сказала ей: «приходите сегодня на наше кладбище. Я хочу поговорить съ вами».

И такъ знакомство началось. Изъ разсказовъ Маремьяны Петровны оказалось, что отецъ ея служилъ по питейной части, но денегъ у него не было, потому что онъ пилъ, и у него постоянно были недочеты. Теперь онъ померъ, а мать занимается печеньемъ булокъ и продажею ихъ на рынкѣ. А такъ какъ у матери есть знакомые, то она достаетъ для нея работу—шить или вязать. Съ Акулиной Петровной она познакомилась черезъ мать, и хотя та даетъ ей работу, но платитъ такъ мало, что едва-едва остается нѣсколько копеекъ отъ расходовъ на нитки или иголки. Все, что говорила Дарьѣ Андреевнѣ Акулина Петровна, оказалось ложью. Для того, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ живетъ Маремьяна Петровна, она пригласила Дарью Андреевну къ себѣ. Она съ матерью занимала небольшую квартирку, состоящую изъ кухни и комнатки, въ которыхъ было и свѣтло, и чисто. Старушка была женщина бойкая и имѣла много здраваго смысла. Вотъ что она говорила Дарьѣ Андреевнѣ:

— Вы не смотрите, что я калашница. Калашница такой же человѣкъ, какъ и всѣ. Вы, можетъ-быть, думаете, что чиновницѣ не пристало сидѣть на рынкѣ и выторговывать изъ каждаго фунта муки лишнюю копейку, а я вамъ скажу, что тутъ ничего нѣтъ худого, потому что я своими руками покупаю муку, пеку и таскаю на рынокъ,—стало быть, мнѣ нужно же что-нибудь за трудъ. А что я чиновница, такъ это только пустое слово; его хоть бы и вѣкъ не бывало, такъ мнѣ все равно, мнѣ не приходится задирать голову кверху, потому что въ этомъ лохмотьѣ я воронъ насмѣшу. Я даже ненавижу, извините меня, это чиновничество, потому что не будь я чиновницей двадцать три года, я не жила бы праздно, на счетъ другихъ, а можетъ-быть, копейка по копейкѣ, накопила бы въ это время порядочный капиталъ. А теперь я стара, вонъ она ужъ большая, надо ее поддержать, пусть она сама добываетъ хлѣбъ, а на мужчину пусть не надѣется. Я не говорю, что замужъ выходить не слѣдуетъ: съ хорошимъ человѣкомъ, съ другомъ, пріятнѣе жить и дѣло спорится; пусть онъ будетъ хоть мужикъ, да по сердцу и работящій. Одной пусто; не съ кѣмъ подѣлиться ни горемъ, ни радостью. Хотя же меня и презираютъ чиновницы за то, что я сдѣлалась торговкой, а моя дочь швеей, но я сама ихъ презираю за то, что онѣ, старушонки, живя рублевыми пенсіонами, ничего не дѣлаютъ, а ходятъ по богатымъ людямъ съ записками собирать на бѣдность или на леченіе дѣтей, которыхъ у нихъ вовсе нѣтъ. Это все равно, что просить Христа-ради, подличать, ползать передъ богатыми, которые, подавая нищимъ копейки, важничаютъ, чванятся и губятъ тысячи другихъ бѣдныхъ людей. А если я по прежней привычкѣ пью чай со сливками, ѣмъ пироги, такъ, прости Господи, развѣ я не стою этого? Я не украла, я на трудовыя денежки ѣмъ, пью. Можно, я думаю, послѣ трудовъ и отдохнуть, а на лишнія крохи и полакомиться. А на гробъ да на похороны мнѣ немного надо.

Эта старушка такъ понравилась Дарьѣ Андреевнѣ, что она высказала ей свое намѣреніе оставить монастырь.

— Что жъ, оставить монастырь дѣло хорошее, потому что тамъ заколотятъ все, что у васъ есть хорошаго, и потомъ принудятъ постричься. А это обидно, потому что вы и себя-то заживо похороните, пользы никому не принесете, а для другихъ будете въ тягость и въ сожалѣніе. Но вотъ что: что выйдетъ изъ того, что вы уйдете изъ монастыря? Какъ на это взглянетъ отецъ вашъ? Вы еще дѣвушка молодая, неопытная; отецъ надъ вами имѣетъ много правъ; онъ на васъ осердится, и какъ онъ приметъ, если ему будутъ говорить, что онъ довелъ свою дочь до того, что она занимается какою-то работою. Да и въ силахъ ли вы перенести одиночную трудовую жизнь?

— Попробую.

— Тутъ пробовать нечего: пробовать можно, имѣвши деньги; тогда, если будетъ тяжело, можно и бросить. А у васъ вѣдь денегъ нѣтъ, вы рискуете. Отецъ на васъ разсердится и не дастъ ни копейки. Это ужъ какъ Богъ святъ. А что вы станете дѣлать безъ денегъ? Знаете ли вы, что вамъ нужно еще паспортъ на жительство, квартиру нанять, печку топить; вѣдь коли будете заниматься шитьемъ, то надо и утюги имѣть. Вѣдь захотите й чаю.

— Я уже отвыкла отъ чаю.

— Ну, какъ заживете сами собой—захочется. Глупо оно, да что съ утробой-то сдѣлаешь. Нѣтъ, вы еще не живали такъ, какъ мы живемъ. Да и къ чему вамъ работать? Поживите, потерпите въ монастырѣ: у васъ отецъ богатый, родня хорошая, видная; васъ не отдадутъ замужъ, какъ меня отдали, за какого-нибудь ничтожнаго писца, который по милости начальства угодилъ подъ судъ и сдѣлался, дай ему Богъ царство небесное, пьяницей и крючкотворомъ.

— Мнѣ не хочется вовсе замужъ и я не хочу жить на счетъ отца.

— О, матушка, Дарья Андреевна! Всѣ мы, пока дѣвицы, говоримъ, что не пойдемъ замужъ. Тутъ или стыдливость играетъ роль, или примѣры, какъ замужнія женщины живутъ. Но вотъ что странно: кто объ этомъ говоритъ, тотъ непремѣнно рано или поздно выйдетъ замужъ. Есть у насъ что-то такое непонятное, и вотъ приходитъ пора, когда дѣвушкѣ нравится мужчина, ну, и пошла исторія. Нѣтъ, не говорите этого. Ну, а что вы говорите, что не желаете жить на счетъ отца, такъ это еще бѣда не велика: онъ на то и отецъ, чтобы содержать васъ.

— А мнѣ горько слышать отъ него упреки, что онъ меня содержитъ.

Старушка задумалась.

— Я вотъ что думаю, Дарья Андреевна: не даютъ женщинамъ образованія. Кабы вы обучались въ гимназіи, какъ наши братья, вы бы могли обучать грамотѣ мальчиковъ. А то, при живомъ отцѣ, богатой роднѣ, вамъ неловко заняться нашей работой, да и вы работать-то пожалуй не пойдете: надъ вами будутъ смѣяться, и вы покою себѣ не найдете.

— Что же мнѣ дѣлать?

— А пишите къ отцу, что не желаете жить въ монастырѣ. Хотя у насъ и есть женское училище, но туда васъ не примутъ, потому что вы уже стары для училища. Къ тому же тамъ берутъ большія деньги.

— О, отецъ не дастъ ни копейки. Онъ даже и за брата Кузьму ничего не платитъ, а платитъ родственникъ, у котораго онъ живетъ.

Этотъ разговоръ съ практической женщиной заставилъ много призадуматься Дарью Андреевну. Она сознавала, что еще не испытала лично самой горечи жизни, она ее видѣла только на другихъ; но какъ она дѣйствительно очутится лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью, какъ она перенесетъ ее? Денегъ у нея ни копейки, отецъ не возьметъ ея и на глаза, родные отшатнутся, а вѣдь тогда не хорошо будетъ пятиться назадъ и просить помощи отца или родни. Придется голодать, шляться по городу, просить Христа-ради работы. Сумѣетъ ли еще она сдѣлать-то что-нибудь? Вѣдь нужно тогда на сторону дѣлать, угодить, заслужить спасибо и деньги?..

«Одной мнѣ ничего не сдѣлать», рѣшила она и не упоминала больше ни Маремьянѣ Петровнѣ, ни матери ея о своемъ намѣреніи работать. А у Маремьяны Петровны къ Рождеству появилось новое платье, у старушки теплые сапоги, комнатка у нихъ была выбѣлена. На праздникѣ у нихъ было такъ хорошо и весело, что Дарью Андреевну брала зависть, и она готова была переносить всякія лишенія, чтобы только вырваться изъ монастыря и попробовать этой трудовой жизни. Но было холодно, у нея не хватало рѣшимости, она боялась отца, котораго очень любила.

Между тѣмъ она замѣчала, что настоятельница все больше и больше налегаетъ на нее и за какую-нибудь бездѣлицу то подвергаетъ ее земнымъ поклонамъ, то ставитъ на колѣни среди церкви, то оставляетъ безъ обѣда; наконецъ послѣ Рождества, послѣ длиннаго нравоученія, старуха объявила ей, что она больше не будетъ ходить въ городъ, такъ какъ ей извѣстно отъ благочестивыхъ мірянокъ, что она ведетъ себя въ городѣ въ высшей степени безнравственно. Монахини и воспитанницы стали на нее коситься, всѣ на нее смотрѣли подозрительно; если она выходила во дворъ, слѣдили за ней. Въ комнату къ ней приставили монахиню старую, ворчливую, которая, хотя и спала сама много, но заставляла Дарью Андреевну или шить, или читать что-нибудь изъ Четьи-Минеи. Послѣ Новаго года настоятельница позвала къ себѣ Дарью Андреевну и удивила. Она была такъ любезна, какъ никогда до сихъ поръ; напоила ее чаемъ съ вареньемъ и даже потрепала по щекѣ. Между прочимъ она сказала, что получила отъ Андрея Иваныча письмо съ подаркомъ. Потомъ вдругъ сказала:

— Ты очень счастлива, дочь моя, хотя за твое непослушаніе и не заслуживаешь его. Но я добра ко всѣмъ. Приготовься къ ожидающей тебя новой жизни.

— Какой?

— Это ты сейчасъ узнаешь. Я уже написала твоему отцу. Ты должна выйти замужъ. Твой мужъ будетъ дьяконъ въ хорошемъ селѣ. Что, обрадовалась?..

Дарья Андреевна заплакала; настоятельница улыбалась, думая, что очень обрадовала дѣвушку.

— Я не пойду замужъ. Если и папаша прикажетъ—я не пойду,—сказала рѣшительно Дарья Андреевна.

— Въ монахини хочешь? Это тебя рекомендуетъ съ хорошей стороны.

— Я не хочу и въ монахини.

— А! это тебя калашница развратила. Пошла вонъ, негодница!

— Я не негодница и не дозволю ругать себя!

— Что такое? Какъ ты смѣешь грубить? Тварь!— кричала настоятельница и ударила ее по щекѣ.

— Какое право имѣете вы драться? Я не хочу жить больше въ монастырѣ!

На этотъ крикъ прибѣжали двѣ келейницы и, по приказанію настоятельницы, Дарью Андреевну увели и заперли въ холодный и темный чуланъ, въ которомъ она пробыла только двое сутокъ, а на третьи захворала, и ее взяли въ монастырскій лазаретъ.

Она написала отцу письмо, въ которомъ подробно изложила причину своей болѣзни, но на другой же день настоятельница призвала ее къ себѣ, показала ей письмо ея и дневникъ и погрозила запереть на все лѣто въ такой чуланъ, въ которомъ ее живую съѣдятъ мыши. И вотъ Дарья Андреевна рѣшилась бѣжать, и въ воскресенье, во время обѣдни, ушла изъ церкви прямо къ Маремьянѣ Петровнѣ, которая, вмѣстѣ съ матерью, снабдила ее деньгами и отправила черезъ часъ послѣ ея бѣгства изъ монастыря съ обозомъ въ губернскій городъ Егорьевскъ. На прощанье старушка Потапова напутствовала ее такими словами:

— Дѣлать нечего. Въ монастырѣ жить тебѣ нельзя. Если бъ у тебя характеръ былъ не крутой, а такой же выносливый, какъ и у другихъ воспитанницъ, да не задумала бы ты работать, тогда ты бы не рѣшилась бѣжать изъ монастыря. Теперь ты пташка свободная, унывать тебѣ не слѣдуетъ; потому коли попадешь опять въ монастырскіе когти—плохо тебѣ будетъ: тебя запрутъ, изъ тебя сдѣлаютъ сумасшедшую, коли насильно не выдадутъ замужъ или не постригутъ въ монахини. Свобода—дѣло великое, но тебѣ, можетъ-быть, придется много перетерпѣть горя. Тяжело бороться со всякими преградами, но все же ихъ можно и одолѣть. Ты поѣзжай къ отцу, обскажи ему все, какъ слѣдуетъ, и тогда дѣлай, какъ знаешь. Лучше сперва посовѣтоваться съ отцомъ, чѣмъ кидаться въ омутъ зря.

— Если онъ мнѣ не дозволитъ, я сама уйду отъ него.

— Если не дозволитъ, ты съ нимъ ничего не сдѣлаешь: на то онъ отецъ. А ты присмотрись сперва, какъ бѣдные люди живутъ... Да и я, право, не понимаю, что у тебя за охота мучить себя преждевременно. Другое дѣло, если бъ у тебя отца не было.

— Я не хочу жить такъ, какъ они живутъ. Я хочу жить своимъ трудомъ, какъ и вы, потому что я вижу, что такъ жить можно.

— Ну! Богъ тебя благословитъ.

И Дарья Андреевна поѣхала полная надеждъ. Теперь она больше прежняго присматривалась къ труду вообще, а къ женскому въ особенности. Въ деревняхъ и селахъ она видѣла много работящихъ женщинъ, которыя такъ привыкли къ работѣ, что имъ скучно было безъ дѣла. Когда же она спросила одну крестьянку: А что, тяжело работать?—та съ изумленіемъ поглядѣла на нее и сказала:

— Что за тяжело! Коли робить не будешь, ѣсть нечего будетъ. Мы тѣмъ живемъ, что робимъ и другихъ еще кормимъ работой. Ничего. Робимъ день денской, и спасиба никто не скажетъ — и не надо. Скверно только, что ничего въ хозяйствѣ не прибавляется, а изъ хозяйства идетъ прочь.

— Куда?

— Знамо куда! Кто выше—туда и идетъ.

Словомъ, всѣ, кто ни работалъ, не говорилъ, что работать не хочется, а жаловался только, что эта работа или плохо обезпечиваетъ, или вовсе не обезпечиваетъ. Въ губернскомъ городѣ она видѣла то же, а двѣ чиновницы, съ которыми она познакомилась тамъ случайно, не только не похвалили ея за намѣреніе трудиться, но даже напугали ее; братъ же Кузьма прямо сказалъ ей, что она глупитъ, потому что дочери чиновника, дѣвицѣ, не подобаетъ работать по-мѣщански или по-крестьянски.

VII.

Долго ходила Дарья Андреевна по саду, припоминая вышеописанное и соображая, какъ ей устроить свою жизнь. Вотъ она и въ родительскомъ домѣ, ходитъ по обширному, давно запущенному саду, въ которомъ дорожки существуютъ только до бесѣдки и около пруда, всюду растетъ репей, крапива и другія негодныя травы, тамъ и сямъ пробиваются малиновые кусты, около заплота во множествѣ растетъ шиповникъ, крыжовникъ и смородина; чѣмъ дальше въ глубь—тѣмъ больше деревьевъ, которыя то и дѣло зацѣпляютъ за ея платье; пахнетъ сосной, дышется тяжелѣе, какъ будто она бродитъ по большому лѣсу, и немудрено: она уже давно не была въ настоящемъ лѣсу. Впечатлѣнія только остались, и вотъ она опять видитъ какъ будто лѣсъ въ миніатюрѣ. Былъ и въ монастырѣ садъ, но тамъ слѣдили за каждымъ ея шагомъ, тамъ пахло мертвечиной, потому что рядомъ съ садомъ находится кладбище. Тамъ, кромѣ памятниковъ, нѣтъ ничего причудливаго, тамъ нѣтъ свободы. А здѣсь ходи сколько угодно. Здѣсь и разнообразіе есть. Такъ она набрела на какую-то горку, обросшую травой и пихтой. Дорожки ни на нее, ни вокругъ ея не существуетъ, но на ней въ самой середкѣ есть небольшая площадка и сгнившая скамейка. Точно объ этой горѣ и не зналъ владѣлецъ сада. Съ этой горки не открывается никакихъ хорошихъ видовъ: вверху небо, по сторонамъ деревья, сосна, береза и тополь; внизу тамъ и сямъ мелькаютъ желтенькіе, голубенькіе и бѣлые цвѣточки. Но зато здѣсь хорошо тѣмъ, что внизу журчитъ ручеекъ, точно вода его падаетъ съ небольшой высоты. Дарья Андреевна спустилась внизъ: въ горкѣ сдѣлано отверстіе, до половины заросшее репейникомъ и крапивой; передъ этимъ отверстіемъ течетъ ручеекъ и стекаетъ въ небольшую ложбину, въ которой онъ и течетъ потомъ дальше. Вспомнила Дарья Андреевна, какъ она прежде часто убѣгала сюда съ братомъ Кузьмой и запруживала этотъ ручеекъ каменьями, какъ они прятались въ горкѣ,—кто устроилъ ее, никому въ городѣ не было извѣстно,—и какъ братъ Кузьма пугалъ ее, залѣзши въ это отверстіе и выкидывая тамъ различныя штуки. Часто случалось имъ заставать въ горкѣ городскихъ ребятъ, бѣгающихъ и прячущихся здѣсь отъ училища и розогъ, но они никогда не выдавали ихъ, а напротивъ играли съ ними во что-нибудь; нерѣдко случалось ей также и кормить этихъ оборванцевъ, которые рады были и куску черстваго ржаного хлѣба. Но теперь, видно, въ училищѣ стало лучше, или ребята нашли другое убѣжище: трава не помята; не видно, чтобы кто-нибудь былъ здѣсь нынѣшней весной. На самомъ концѣ болото, а на одномъ высокомъ тонкомъ тополѣ виситъ бумажный разорванный змѣй. Вездѣ запустѣніе. А сколько бы можно хорошаго извлечь изъ этого сада!..

«Если бы я была хозяйка», думала Дарья Андреевна: «я бы вездѣ сдѣлала дорожки, траву расчистила, стала бы разсаживать яблони, груши,—а то вонъ ихъ сколько и всѣ сухія: я бы и здѣсь развела огородъ; тутъ бы даже можно было льну посѣять или табаку». Разсуждая такъ, она чувствовала, что она у себя дома, что ея никто не выгонитъ изъ дома, изъ сада. «Дядя говорилъ, что послѣ смерти отца домъ будетъ принадлежать намъ, дѣтямъ». И ей представилось, какъ они будутъ дѣлить свое имущество, и старалась замять свое желаніе владѣть такимъ имуществомъ, которое ей никогда не достанется, потому что у нея есть старшій братъ, который вѣроятно захочетъ воспользоваться домомъ.

«Что я буду дѣлать?»—вотъ вопросъ, который занималъ ее теперь. Но она еще не видѣлась съ мачехой, съ другими родными. Какъ-то они взглянутъ на ея неожиданное появленіе здѣсь?..

Зазвонили къ обѣднѣ. Она пошла торопливо домой и у бесѣдки наткнулась на брата, Осипа Андреича.

— Здравствуй, сестрица! Ужъ я тебя искалъ, искалъ... Ну, слава Богу—пріѣхала. Здорова ли?

— Здорова, братецъ. Здорова ли Марѳа Антоновна?

— Какъ корова,—и онъ захохоталъ надъ своей остротою.—Она еще спитъ. Надолго ты сюда пріѣхала?

— Не знаю. Это зависитъ отъ папаши и мамаши.

— Вотъ что, сестрица, поѣдемъ ко мнѣ въ село. У меня тамъ большое хозяйство, своя мельница, луга, скотъ. Ѣшь, пей, спи, гуляй. Чего хочешь, того и просишь—все подъ бокомъ. Все село въ моихъ рукахъ. Что захочу, то и дѣлаю.

— Покорно благодарю.

— Ты ужъ, поди, чистѣйшая монашка стала и отъ танцевъ, поди, отстала. А меня произвели уже въ коллежскіе секретари.

— Поздравляю.

— Губернаторъ меня приглашаетъ къ себѣ въ канцелярію. Я, говоритъ, сдѣлаю васъ чиновникомъ особыхъ порученій или членомъ по крестьянскому присутствію. Но я не хочу, во-первыхъ, потому, что въ губернскомъ городѣ надо жить по-губернски, а въ селѣ я какъ забился съ утра въ пальто, такъ и не снимаю его до вечера; а во-вторыхъ, тамъ все дорого, а въ селѣ я трачу деньги только на табакъ, на чай да на наряды женѣ. Ты папашу видѣла?

— Видѣла.

— Какъ ты нашла его?

— Все такой же.

— Ну, я, признаться, нахожу, что его здоровье день ото дня слабѣетъ. Мачеха его совсѣмъ сбила съ толку. Бѣдный отецъ!—Что она ни захочетъ, то и дѣлаетъ. Только вотъ она водку не запрещаетъ ему пить.

— Для чего онъ служитъ? Вышелъ бы въ отставку и поѣхалъ бы жить къ вамъ.

— О, онъ ни за что не выйдетъ въ отставку. Впрочемъ, если бы онъ сталъ жить у меня, то сталъ бы вмѣшиваться въ мои дѣла и мѣшалъ бы мнѣ. Онъ пожалуй бы еще взялся за должность письмоводителя...

Они вошли въ палисадникъ. Тамъ въ бесѣдкѣ сидѣлъ Андрей Иванычъ въ халатѣ и курилъ трубку; рядомъ съ нимъ сидѣлъ пожилой мужчина съ рыжей бородой и всклокоченными волосами; на немъ былъ надѣтъ суконный порыжѣлый кафтанъ съ двумя рядами свѣтлыхъ пуговицъ. Онъ считалъ мѣдныя деньги.

— Надо какъ-нибудь удержать отца. Этотъ засѣдатель вѣроятно собирается послать за водкой. Ужъ я ему задамъ! Я его уже два раза дралъ—проговорилъ Осипъ Андреичъ.

— Кого—засѣдателя-то?

— Что жъ такое! Вѣдь онъ мужикъ. Не знаю, зачѣмъ законъ велитъ, въ случаѣ недостачи наличнаго состава членовъ земскаго суда, приглашать этихъ мужиковъ. Онъ, каналья, даже и фамилію порядочно подписать не умѣетъ, а его только и требуютъ въ судъ для того, чтобы онъ подписывалъ на бумагѣ свою фамилію, а въ случаѣ безграмотства приложилъ бы свою печать.

— Эдакъ могутъ и писцы сдѣлать фальшивую подпись.

— Нельзя. Этотъ народъ хотя и пьяница, и неучъ, а тоже имѣетъ смекалку. Нужды нѣтъ, что онъ невѣжа, а ты ему не клади пальца въ ротъ. У этого канальи я разъ нашелъ книжку, гдѣ онъ чертилъ палочки. Я спросилъ, что это такое. А это, говоритъ, я записываю, сколько тогда-то бумагъ подписалъ.

Поравнялись съ бесѣдкой. Засѣдатель всталъ и раскланялся.

— Для чего это деньги на столѣ?—спросилъ строго засѣдателя Осипъ Андреичъ.

— Для тебя,—отвѣчалъ отецъ и сталъ смотрѣть на сына.

Сынъ сконфузился, но не надолго.

— Какъ вамъ не стыдно, папаша. Вы знаете, что я взятокъ не беру!—сказалъ сынъ рѣзко.

— Ладно, Осипъ... Однако вотъ что: Ванѣ нужно домой; у него жена при смерти. Онъ ужъ и такъ дома не былъ двѣ недѣли. Я пьянъ... Такъ ты...

— Батюшка, Осипъ Андреичъ, помилосердуйте! Хоть розгами накажите, а освободите отъ земскаго суда,—проговорилъ засѣдатель кланяясь.

— Хорошо, любезный, хорошо. Я эти отговорки знаю... Умретъ жена—другую возьмешь. Эка невидаль! Однако я поговорю съ исправникомъ. Ну-ко, дохни!

— Ей-Богу, в. б—е, я не пилъ водки. Кромѣ воды, ничего не пилъ.—И засѣдатель дохнулъ.

— Хорошо. Подожди въ прихожей.

И онъ ушелъ съ Дарьей Андреевной.

Эта сцена на Дарью Андреевну произвела непріятное впечатлѣніе. Она увидала, что братъ ея, относившійся къ ней прежде свысока, теперь относится съ презрѣніемъ къ людямъ постороннимъ, къ засѣдателямъ земскаго суда, подписывающимъ бумаги, которыя иногда рѣшаютъ судьбу человѣка. Ей не понравилось его хвастовство, что онъ наказывалъ этого засѣдателя розгами; ей противно казалось его приказаніе дохнуть...

Она молчала, а братъ отвѣчалъ кланяющимся ему изъ оконъ мужчинамъ въ вицмундирахъ, сюртукахъ и пальто, мужикамъ различныхъ физіономій и разныхъ лѣтъ. Съ однимъ изъ нихъ онъ заговорилъ. Пользуясь этимъ случаемъ, Дарья Андреевна пошла внизъ, въ дѣтскую. Тамъ она застала слѣдующую

сцену. Какъ въ первой комнатѣ, такъ и во второй ревѣли дѣти, но больше всѣхъ орала маленькая дочь брата Дарьи Андреевны, Осипа Андреича, такъ какъ она расшибла затылокъ, на которомъ образовалась порядочная ссадина кожи. Нянька дѣтей Осипа Андреича, укачивая дѣвочку, то люлюкала, то дула на больное мѣсто, а въ другой дѣтской комнатѣ говорили двѣ женщины. Это были Мареа Антоновна и Марья Андреевна. Сперва ничего нельзя было разобрать въ этомъ гвалтѣ. Дарья Андреевна взяла къ себѣ ребенка, а няньку послала въ кухню за водою для того, чтобы приложить къ головѣ примочки. Наконецъ она услыхала слѣдующее:

— Ты воровка!—кричала Мареа Антоновна.

— Ну, и вы тоже нечисты на руку; взяли мой платокъ, отпороли мѣтку и свою сдѣлали, — кричала въ свою очередь Марья Андреевна.

— Какъ! я воровка! вотъ!! во-отъ!

И Дарья Андреевна услышала удары, посыпавшіеся, по видимому, въ щеки Марьи Андреевны, которая хотя и заплакала, но кричать не переставала. Дарья Андреевна пошла къ нимъ. Мареа Антоновна, увидѣвши ее, сконфузилась, но скоро оправившись, какъ ни въ чемъ не бывало, подошла къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Здравствуй, сестрица... Извини, что такая встрѣча. Мы шутимъ.

— Хороши шутки — по щекамъ драться! Безсовѣстная, — проговорила Марья Андреевна и въ свою очередь поздоровалась съ сестрой.

— Ну, не негодяйка ли она! Какъ ты думаешь, Дашенька?

— Поругайся еще ты, мерз... Сейчасъ пойду скажу мамашѣ,—проговорила рыдая Марья Андреевна и пошла, но ее удержала Дарья Андреевна.

— Полно, сестрица! Къ чему ссориться!

— У насъ каждый день такъ... Она такая злючка, что...

— Врешь! Такой воровки и въ *простомъ* народѣ нѣтъ.

— Ну, сестрица, вы простите ей. Мало ли чего не бываетъ.

— Вотъ мило! — Я — дочь совѣтника, и буду потакать какой-нибудь...

— Ну, полноте! Я васъ прошу — я только что пріѣхала и застаю въ домѣ непріятности.

— Непріятности отъ вашей родни! — сказала Марья Андреевна.

— Сестра, какъ тебѣ хочется заводить сцены. Вѣдь ты уже знаешь Мареу Антоновну не первый годъ.

— Что такое-съ?!

— Я ничего не сказала для васъ обиднаго, Мареа Антоновна.

— Какое вы имѣете право вмѣшиваться въ чужія дѣла? Вы изъ монастыря убѣжали, только что пріѣхали: еще неизвѣстно—примутъ ли васъ родители ваши. Мы хотѣли взять васъ съ собой, и вдругъ вы говорите мнѣ колкости! Ну, голубушка, съ такимъ нравомъ немного вы найдете себѣ счастья.

— Я у васъ ничего не заискивала и не заискиваю. Пріѣхала я сюда къ отцу, и потому не желаю, чтобы вы и мнѣ надѣлали обидъ, какъ моей сестрѣ.—И Дарья Андреевна пошла, но на крыльцѣ встрѣтила отца.

— Что̀ тамъ за крики?—спросилъ онъ.

— Тамъ драка: золовка поколотила Машу.

Андрей Иванычъ махнулъ рукой, плюнулъ, подошелъ къ двери въ кухню и крикнулъ:

— Смирно вы, чертовки!

Къ нему подошла его дочь съ Мареой Антоновной. Начался крикъ. Но Андрей Иванычъ заткнулъ уши и пошелъ наверхъ. Наконецъ его вывели изъ терпѣнія.

— Если вы будете голосить, какъ на базарѣ, я васъ обѣихъ вытурю вонъ или самъ уйду куда-нибудь на все время, пока вы, Мареа Антоновна, будете здѣсь, — проговорилъ онъ сердито, стуча кулакомъ въ перила лѣстницы.

— И уѣду-съ!—сказала Мареа Антоновна захохотавши, но потомъ заплакала. Въ прихожей ихъ встрѣтила Марина Осиповна, Осипъ Андреичъ и Ипполитъ Аполлоновичъ. Началась опять сцена. Мареа Антоновна стала жаловаться мужу, что ее здѣсь всѣ оскорбили и что имъ нимало не медля нужно уѣхать; Марина Осиповна и Ипполитъ Аполлоновичъ стали упрашивать ее не сердиться, потому что они ея ничѣмъ не обижали; самъ Андрей Иванычъ, махнувъ рукой, повелъ съ собой Дарью Андреевну, и только тогда мачеха и дядя стали поздравлять ее съ пріѣздомъ, оставивъ Мареу Антоновну ворчать съ мужемъ въ другихъ комнатахъ.

Послѣ этого всѣ въ домѣ Яковлева были не въ духѣ. Подобныя сцены случались нерѣдко въ кругу семейномъ, а теперь объ нихъ узнáетъ весь городъ, и изъ семейныхъ Яковлева никому нельзя будетъ показаться въ городъ: пальцами будутъ тыкать, хихикать вполголоса. И мало ли чего не наговорятъ. «О важныхъ людяхъ ничтожные люди при всякомъ случаѣ стараются чесать языки, приплетая туда всякую всячину», говорила Марина Осиповна своему отцу, пріѣхавшему къ обѣду — тотчасъ какъ онъ узналъ отъ одного купца, что у Яковлевыхъ произошла такая ссора по случаю пріѣзда дочери изъ монастыря, что самъ Андрей Иванычъ гонитъ вонъ сына съ женой, которая поколотила Дарью Андреевну, назвала ее нехорошими именами, а самого Андрея Иваныча обозвала пьюгой-мученикомъ, погрозилась жаловаться, и даже брату Андрея Иваныча, будущему совѣтнику казенной палаты и разныхъ орденовъ кавалеру, наговорила такихъ колкостей, что онъ слегъ въ постель и не можетъ болѣе выѣхать, что Дарью Андреевну опять отсылаютъ въ монастырь и т. п. и т. д. Все это, и пересуды городскіе, и непріятное настроеніе всѣхъ наличныхъ членовъ Яковлевской семьи произошло собственно потому, что, во-первыхъ, у нихъ гостилъ такой человѣкъ, какъ Ипполитъ Аполлоновичъ, при которомъ всѣ семейные держали себя съ достоинствомъ и ссорились только гдѣ-нибудь въ углахъ, а, во-вторыхъ, ссора случилась тотчасъ по пріѣздѣ Дарьи Андреевны. Словомъ, всѣ были недовольны другъ другомъ. Андрей Иванычъ, поговоривши немного съ Дарьей Андреевной, и уговоривши сына и брата

остаться, взялъ съ погреба бутылку наливки, ушелъ въ свою бесѣдку и заперся тамъ.

Съ пріѣзда Дарьи Андревны прошло нѣсколько часовъ и въ теченіе этого времени она достаточно убѣдилась въ томъ, что въ ея отсутствіе много произошло перемѣнъ. Не говоря о палисадникѣ, въ которомъ стало больше прежняго цвѣтовъ и кустарниковъ малины, о домѣ, который отъ выскакивающей съ каждымъ мѣсяцемъ все больше и больше штукатурки казался угрюмѣе прежняго,—она нашла, что и въ семейныхъ произошла значительная перемѣна. Такъ, отецъ обрюзгъ, принялъ ее не совсѣмъ ласково, не такъ, какъ прежде; онъ, мало того, даже высказалъ ей свое неудовольствіе на то, что она самовольно уѣхала изъ монастыря, и желаніе отдать ее поскорѣе замужъ; значитъ, теперь уже ее всѣ считали невѣстой,—чего не было прежде, и теперь всѣ на нее станутъ смотрѣть, какъ на невѣсту; отецъ постарѣлъ, его какъ будто немного скрючило. Она видѣла, какъ онъ самъ ходилъ въ погребъ, несъ оттуда бутылку вина и съ нею ушелъ въ садъ, осмѣиваемый чиновниками уѣзднаго суда, и ушелъ онъ туда какъ будто съ горя; а это она поняла изъ того, что ему какъ будто тяжело было въ домѣ, гдѣ золовка дѣлаетъ буйство, гдѣ Марья Андреевна, ея сестра, не имѣетъ защиты и гдѣ отецъ какъ будто не имѣетъ вовсе власти, а отъ крика и ругани затыкаетъ уши пальцами, плюетъ и машетъ рукой, а потомъ проситъ, какъ великой милости, своего сына уговорить свою жену не сердиться, а остаться, погостить у нихъ еще нѣсколько дней. Отчего сдѣлался такимъ отецъ—она не могла въ настоящее время понять. Мачеха ея стала толще, взглядъ у нея сдѣлался ястребиный, говоритъ она хрипливѣе прежняго, ходитъ едва-едва переступая ноги; что она не радѣетъ объ дѣтяхъ, видно изъ того, что дѣтскую перевели внизъ, и она тамъ повидимому даже не была сегодня; дѣти содержатся тамъ небрежно; въ комнатахъ вездѣ много сору, ничего не убрано, точно она и не хозяйка. Съ отцомъ она обращается какъ съ чужимъ; онъ даже какъ будто противенъ ей, что она заключала изъ того, что на жалобу золовки она сказала, что она ее не обижала,—значитъ, она всю вину сваливала на отца и Марью Андреевну. На нее, Дарью Андреевну, она обратила вниманіе только тогда, когда отецъ повелъ ее въ другую комнату. А не можетъ быть, чтобы она не знала объ ея пріѣздѣ, такъ какъ прошло уже много времени, и ей могла передать прислуга и даже самъ отецъ. Значитъ, мачеха не любитъ ея больше прежняго. Осипъ Андреичъ сдѣлался еще надменнѣе прежняго и подпалъ подъ вліяніе своей жены, которая ихъ родню ставитъ ни во что, и только къ дядѣ относится съ уваженіемъ. Ипполитъ Аполлоновичъ сдѣлался тоже надменнѣе,—при появленіи ея подалъ ей два пальца и поцѣловалъ не такъ, какъ прежде, а сдѣлалъ только видъ, что прикасается къ ея щекамъ. Марья Андреевна потолстѣла, голосъ ея измѣнился, она сдѣлалась груба и зла; когда сегодня утромъ Дарья Андреевна поцѣловала ее, то отъ нея сильно пахло виномъ. Все это болѣзненно подѣйствовало на Дарью Андреевну. Сидя въ одной изъ комнатъ, выходящихъ на улицу, она думала, что напрасно пріѣхала сюда, что ее будутъ здѣсь ежедневно попрекать чѣмъ-нибудь. «Ужъ коли начало такое, что дальше будетъ? Нѣтъ, надо уѣхать отсюда. Но куда?..». У нея болѣзненно забилось сердце при мысли, что она наконецъ-то можетъ жить отдѣльно отъ родителей и родни, которые не любятъ ея, но скверно то, что у нея нѣтъ денегъ, чтобы прожить нѣсколько времени въ другомъ городѣ до тѣхъ поръ, пока она не найдетъ работы; родня же ей на это не дастъ ни гроша, да и сама она просить у нихъ не рѣшится.

Въ комнату вошла Марина Осиповна. Она была въ ситцевомъ платьѣ, на головѣ надѣтъ чепчикъ. Въ одной рукѣ она держала связку ключей, въ другой платокъ. Лицо ея было сильно раскраснѣвшее, точно она только что пришла отъ печки.

— Здравствуйте, Дарья Андреевна! — сказала она язвительно и поклонилась, но къ Дарьѣ Андреевнѣ не подошла. Дарья Андреевна встала и пошла къ ней, но та сѣла на стулъ около двери.

— Хорошо вы воспитались въ монастырѣ, нечего сказать. Должно быть, вы тамъ съ очень хорошими людьми за оградой вели знакомство. Отличная вы женщина вышли. На удивленіе просто. Не успѣли пріѣхать въ родительскій домъ, не успѣли глазъ хорошенько протереть, а заводите уже исторіи. Богъ вамъ судья! Вы меня и прежде не почитали! Вы и отца оскорбили! Того и гляди, что онъ протянетъ ноги...—И она заплакала.

Дарья Андреевна не знала, что ей сказать. Она стояла какъ пригвожденная къ мѣсту. По этимъ несвязнымъ словамъ, она заключила, что мачеха выпивши. Ничего не было въ томъ мудренаго, такъ какъ мачеха и прежде выпивала утромъ.

— Я, ей-Богу, ни въ чемъ не виновата, мамаша!

— Охъ, какая я мамаша... Всѣ меня обижаютъ... и мужъ, и дѣти. Ни отъ кого мнѣ нѣту почтенія, а отъ тебя въ особенности... Ты какъ и прежде была негодная дѣвчонка, такъ и теперь еще хуже. О, Господи, Господи!

Дарья Андреевна заплакала.

— Богъ вамъ судья, мамаша... Не знаю, за что вы обижаете меня...

— Охъ, ты... развратница! Знаю я все, какъ ты жила въ монастырѣ... какъ ты связалась тамъ съ какими-то дѣвчонками...

— Все это неправда. Дѣвицы были честныя.

— И не говори. Каково твое поведеніе, видно изъ того, что ты обозвала Марѳу Антоновну дурой. А она еще хотѣла тебя взять къ себѣ. Какое ты имѣла право уйти изъ монастыря?... Молчи! Что ты будешь дѣлать здѣсь?.. Ты думаешь, что намъ пріятно имѣть такую нахлѣбницу, какъ ты?

— Если папаша мнѣ позволитъ, я уѣду.

— Что такое? Уѣхать!.. Скажите пожалуйста! Ну, такъ и есть, что ты негодница. Куда ты уѣдешь? Къ любовнику? Кто твой любовникъ? Говори! Да я тебя ни одной минуты не стану держать въ домѣ.

— Папаша знаетъ, чѣмъ я буду заниматься.

— А-а! Ты уже успѣла оплести своего пьянаго родителя.

Дарья Андреевна заплакала. Въ это время въ комнату вошелъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Какъ вамъ не стыдно, Марина Осиповна! Не успѣла Даша пріѣхать, а вы ужъ и кричите на нее. Бога вы не боитесь.

Марина Осиповна заплакала.

— И вы меня обижаете! Всѣ на меня.

— Никто васъ не обижаетъ, а вотъ вы готовы всѣхъ и каждаго обидѣть.

— Охъ, я несчастная! И зачѣмъ чортъ меня сунулъ выйти замужъ за пьяницу.

— Вы не смѣете обижать брата! Если вы хоть еще скажете мнѣ дерзость, я отъ васъ уѣду и, повѣрьте, ни разу не загляну къ вамъ и васъ не пущу къ себѣ на порогъ. Вы должны помнить, кто вашъ отецъ и кто мы...—говорилъ Ипполитъ Аполлоновичъ, ходя по комнатѣ скорыми шагами.

— Дяденька, не говорите этого, — вступилась Дарья Андреевна.

— Это свинство наконецъ! Мѣщанское отродье и вдругъ смѣетъ обижать нашу родню! Даша, собирайся—ѣдемъ!

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилась эта сцена, если бъ не пріѣхалъ отецъ Марины Осиповны.

— Ваша дочь обидѣла меня!.. Я ѣду! Помните, что торги на подряды на носу.

Осипъ Флорычъ испугался, стоялъ какъ пораженный и глядѣлъ то на асессора, то на свою дочь.

Ипполитъ Аполлоновичъ разсказалъ, въ чемъ дѣло. Осипъ Флорычъ, давъ нагоняй дочери, ушелъ за Ипполитомъ Аполлоновичемъ; Дарья Андреевна вышла въ другую комнату. Немного погодя, Зиновьевъ пошелъ къ дочери и сказалъ ей:

— Эта негодница чуть было не испортила все дѣло. Хорошо, что я поспѣлъ во-время. Поди, проси у него прощенія, въ ноги поклонись. Онъ любитъ это.

Черезъ нѣсколько минутъ мачеха прошла съ отцомъ въ кабинетъ, а черезъ четверть часа вышли оттуда съ Ипполитомъ Аполлоновичемъ съ сіяющими лицами и подсѣли къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Ты, Даша,—началъ дядя, — на эти сцены не обращай вниманія. А что если мачеха погорячилась на тебя, такъ у нея ужъ такой нравъ, да и ты сама неправа по многимъ причинамъ, которыя ты намъ должна объяснить. Во-первыхъ, хотя я кое-что и знаю о нравѣ настоятельницы, но мы получили отъ нея письмо, въ которомъ она излагаетъ подробно о твоихъ каверзахъ. Прочитай.— И онъ подалъ ей письмо.

Дарья Андреевна подробно разсказала имъ о томъ, какова ей была жизнь въ монастырѣ, о намѣреніи настоятельницы выдать ее замужъ, о своемъ отказѣ и что потомъ было.

— Это ужасно! Это чортъ знаетъ что такое!— проговорилъ дядя.

Остальные хотя и удивлялись, но не совсѣмъ вѣрили. Спросили ее, зачѣмъ она ничего не писала ни отцу, ни дядѣ, и когда та разсказала, какъ читали ея письма, то дядя сказалъ:

— Хорошо! Я справлюсь въ почтовыхъ конторахъ, и если дѣйствительно не получалось писемъ, я донесу владыкѣ. Я вѣрить тебѣ имѣю основаніе, потому что ты была дѣвушка хорошая, и я былъ противъ посылки тебя въ монастырь. Конечно, тутъ есть доля вины и за Мариной Осиповной, которая, надо правду сказать, не очень-то долюбливаетъ своихъ падчерицъ.

— Ахъ, Ипполитъ Аполлонычъ! Видитъ Богъ, какъ я люблю ихъ, но что же дѣлать, если онѣ меня не любятъ. Вотъ про мальчиковъ я ничего не могу сказать.

— Ну, конечно... Дѣло понятное. Есть матери, которыя даже и своихъ собственныхъ дѣтей не очень-то долюбливаютъ, а объ чужихъ и говорить нечего. А ты, Даша, сама виновата, что была подчасъ рѣзка съ Мариной Осиповной. Нужно помнить, что отецъ твой любитъ ее; а если онъ любитъ, такъ и ты должна тоже любить. Ну-съ, теперь второе, и это самое главное: зачѣмъ ты обругала Марѳу Антоновну дурой и даже хуже этого?

Виноватая разсказала, въ чемъ заключалось дѣло.

— Ну, матушка, ты еще молода, чтобы философствовать. Ты должна слушать, что говорятъ люди опытные, которые тебя старше въ три раза. Я говорю, что бить образованной дамѣ тоже даму—дѣло неблагопристойное, однако въ семействѣ допустить это можно, во-первыхъ потому, что Марѳа Антоновна старше Маши, а во-вторыхъ, та того заслуживаетъ.

— Но, дяденька, не можетъ же быть, чтобы сестра взяла сѣтку.

— Сѣтку жена Осипа нашла въ комодѣ у Марьи,— сказала Марина Осиповна.

— Вотъ то-то и есть! Ты бы прежде должна узнать суть дѣла, а потомъ лѣзть съ защитой. Вора всегда надо наказывать, чтобы онъ помнилъ и не смѣлъ въ другой разъ протягивать руки за чужою вещью. Но довольно объ этомъ. Ты все-таки поступила нехорошо. Она тебѣ говоритъ, что это не твое дѣло, она тебѣ сказала слово, а ты два, тебѣ бы слѣдовало уйти, а ты возражать.

— Ужъ извѣстно, бабы народъ глупый: сойдутся двѣ бабы — крикъ, ругань, драка. А если тутъ еще третья ввяжется, и той достанется на калачи,—замѣтилъ Зиновьевъ.

— Чтобы поправить дѣло, ты должна извиниться,—сказалъ дядя.

— Передъ кѣмъ?

— Передъ Марѳой Антоновной.

— Боже меня избави! Я не ребенокъ.

— Вотъ видите!—сказала Марина Осиповна.

— Мы всѣ этого требуемъ; ты должна уважить хоть меня.

— Дяденька, увольте меня отъ этого. Она обидѣла меня, и съ какой стати я стану еще просить у нея прощенія? Ни за что! Хотя я васъ люблю и уважаю, но этого сдѣлать не могу. Вотъ у Маши я могу просить прощенья во всемъ, въ чемъ я виновата.

— А если отецъ тебя заставитъ?

— Никто меня не можетъ заставить. Это касается лично меня.

— Горда же ты. Помни, что тебѣ еще много придется жить и со своею спѣсью много ты натерпишься горя!—И Ипполитъ Аполлонычъ всталъ и началъ ходить. Но его скоро вызвала подошедшая къ двери Марѳа Антоновна, и они ушли въ кабинетъ, откуда пришли только къ обѣду.

Мачеха и отецъ ея долго упрашивали Дарью

Андреевну испросить у Марѳы Антоновны прощенья, но она наотрѣзъ отказалась. Попробовали угрозы—она стала молчать; Марина Осиповна разсказала, что и она попросила у дяди прощенья, но Дарья Андреевна на это сказала:

— Не вы у него, а онъ у васъ долженъ бы былъ просить прощенія, потому что онъ какъ вамъ, такъ и намъ нанесъ оскорбленіе, назвавъ васъ мѣщанкою.

— Какъ? насъ—мѣщанами, ворами?—вступился Зиновьевъ.

— Молчите, папаша,—произнесла съ испугомъ Марина Осиповна.

— Ахъ, если бы не подрядъ—наломалъ бы я ему бока.

— Да, Даша, всегда нужно покоряться. Отецъ слабъ; куда мы съ нашей семьей дѣнемся?..

— Полно вамъ, мамаша. Отецъ еще крѣпко ходитъ. Ну, если его не будетъ—будемъ трудиться. Я первая возьмусь за трудъ какой-нибудь. А кланяться я и дядюшкѣ не намѣрена.

Зиновьевъ покачалъ головой, а Марина Осиповна стала съ испугомъ смотрѣть на него.

— О, дѣвка, дѣвка! Если бы тебя да въ мои руки, и я-я бы тебя! — проговорилъ Зиновьевъ, сжавъ кулаки, заскрежеталъ зубами и ушелъ.

— Вотъ Богъ послалъ мнѣ змѣю за мои грѣхи,—проговорила Марина Осиповна и тоже ушла.

Отъ всѣхъ этихъ сценъ и разговоровъ у Дарьи Андреевны заболѣла и закружилась голова, точно она была въ горячкѣ. Она сразу увидала столько гадости въ ея роднѣ, что отцовскій домъ ей показался какимъ-то адомъ. Она уже не могла больше жить въ немъ, не могла конечно ѣхать ни къ брату, ни къ дядѣ. Ей хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, но она была одна: на сестру надѣяться нечего. Оставалась дочь Зиновьева, Анисья Осиповна, ея любимица, но какъ она пойдетъ къ ней, когда ея отецъ разозлился на нее? Остается отецъ. И дѣйствительно, изо всей ея родни остается только одинъ отецъ, который любитъ еще ее, котораго, можетъ-быть, обкрадываютъ, обижаютъ, смерти котораго, можетъ-быть, всѣ ждутъ. Не даромъ о смерти его всѣ говорятъ; не даромъ же онъ и пьетъ запоемъ... И мысль оставить домъ исчезла. «Я буду жить съ отцомъ, я поддержу его. Пусть дѣлаютъ со мною, что хотятъ, пусть ненавидятъ, но я его спасу; для него меня никто изъ дому не выгонитъ».

И она пошла въ садъ.

Въ бесѣдкѣ палисадника сидѣла Марья Андреевна. Она что-то шила и очень громко распѣвала незавиднымъ голосомъ: «Скажите ей», такъ что многіе чиновники изъ оконъ смотрѣли на нее, а нѣкоторые даже подтягивали. Когда она увидала сестру, замолчала.

— Какая ты, сестрица, веселая,—сказала Дарья Андреевна, присѣвъ къ Марьѣ Андреевнѣ.

— Не все же плакать.

— Я бы здѣсь ни за что не пѣла, потому что въ нашемъ домѣ присутственныя мѣста, и въ нихъ много служащихъ. Смотри, Маша, сколько смотрятъ сюда.

— Это они на тебя смотрятъ, а на меня имъ нечего смотрѣть,—примелькалась, а я на нихъ и вниманія не обращаю. Вотъ сейчасъ приходилъ изъ уѣзднаго суда засѣдатель Трынкинъ и лебезилъ около меня, а мнѣ что въ немъ, у меня ужъ есть женихъ.

— Все же нехорошо, потому что изъ нихъ, можетъ-быть, есть и хорошіе пѣвчіе; вѣдь здѣсь въ церкви поютъ приказные.

— Я въ своемъ домѣ, и поэтому на насмѣшки не обращаю вниманія. Вотъ мы ужо споемъ съ тобой когда-нибудь въ саду. Я въ саду ужасно люблю пѣть. А ты, я знаю, любишь пѣть. Вѣдь ты въ монастырѣ на клиросѣ пѣла. А здѣсь я пою съ горя: золовка ли меня обидѣла, мамаша, или кто другой...

— Много онѣ наплели на тебя.

— А я ихъ не боюсь. Я эти оплеухи во всю жизнь не забуду. Она у меня просила прощенія, я ее простила изъ приличія, но въ душѣ я ее ненавижу. Знаешь, они зовутъ меня къ себѣ.

— Ну, что же?

— Что?

— Ты поѣдешь?

— Поѣду. Мнѣ все равно что здѣсь, что тамъ. Тамъ еще лучше: тамъ поля, рѣчка; тамъ много грибовъ, ягодъ; тамъ меня будутъ посылать къ крестьянамъ за деньгами, яйцами. Я ужъ ходила, сбирала.

— И теперь пойдешь?

— А что жъ такое? Вѣдь я не себѣ беру, а меня посылаютъ.

— Но вѣдь это взятки?

— А мнѣ что за дѣло? Брату нужно содержать жену-модницу. Ужъ онъ мнѣ непремѣнно купитъ на платье, какъ въ прошломъ году купилъ къ Рождеству. Вчера я въ этомъ платьѣ танцовала. А ты, Даша, помирись съ золовкой.

— Неужели тебѣ не обидно, что она тебя избила?

— Обидно, да что дѣлать? Она вспыльчива. Вспылитъ, прибьетъ, а потомъ и самой станетъ стыдно. Она ужъ обѣщала мнѣ подарить сѣтку. Я сѣтку въ шутку положила въ комодъ и не хотѣла потомъ отдать, потому что она красивая,—вотъ и вышла ссора. А ты помирись, поѣдемъ вмѣстѣ, тамъ я проживу до свадьбы. А ты знаешь, что говорятъ про тебя?

— Мало ли что говорятъ!

— Говорятъ, что у тебя въ Соколѣ женихъ есть.

— Пусть ихъ говорятъ.

— Мнѣ дѣла нѣтъ. У меня такъ вотъ два жениха. Ты только никому не говори. Одинъ настоящій, чиновникъ изъ казначейства, Павловъ. За него меня уже просватали, но я его не люблю, потому что онъ пьяница, а другой—вонъ тамъ,—и она указала на домъ.—Но за него ни за что не отдадутъ: онъ не имѣетъ чина. Но какой славный человѣкъ!—И она замолчала.

Теперь Дарьѣ Андреевнѣ стало ясно, почему она поетъ въ палисадникѣ.

— Пойдемъ въ садъ, — сказала вдругъ Марья Андреевна.

Долго онѣ ходили по саду. Марью Андреевну повидимому нисколько не занимали деревья и цвѣты;

ей больше всего нравились парники съ огурцами; она была большая любительница тыквъ, арбузовъ и овощей и ко всему этому относилась съ знаніемъ, какъ любая хозяйка. Въ бесѣдкѣ спалъ отецъ. Онѣ пошли дальше и сѣли въ рощѣ недалеко отъ пруда.

— Несчастный отецъ! — сказала со вздохомъ Марья Андреевна.—Совсѣмъ онъ опустился и дѣла не дѣлаетъ. А мачеха, скажу я тебѣ, совсѣмъ не любитъ его. Я тебѣ скажу по секрету: она живетъ съ казначеемъ, несмотря на то, что онъ дрыгунчикъ. А его жена живетъ со здѣшнимъ новымъ стряпчимъ, который изъ ученыхъ и молодой, красивый мужчина. Говорятъ, что онъ богатъ. А нашъ дядюшка теперь то и дѣло увивается около золовки, а Осипъ какъ будто и не видитъ ничего. Вотъ какой у насъ народецъ. А какъ я рада, сестрица, что ты пріѣхала: все же хоть поговорить есть съ кѣмъ.

Дарья Андреевна ничего не отвѣчала на это. Ей невыносимо тяжело сдѣлалось. И она съ сестрою пошла домой. Тамъ уже сбирались обѣдать. За обѣдомъ всѣ вели себя натянуто, больше молчали, плохо ѣли и смотрѣли въ свои тарелки. Послѣ обѣда Андрей Иванычъ пригласилъ Дарью Андреевну въ садъ. Дарья Андреевна разсказала ему подробно о монастырской жизни. Потомъ, когда они пришли въ бесѣдку, отецъ, выпивая наливку, откровенно жаловался ей, что ему послѣ ея отъѣзда было очень тяжело оттого, что у него на полѣ сгорѣло много сѣна, въ винѣ оказался недочетъ, такъ что ему нужно было издержать свои деньги; что дома у него дѣлается что-то нехорошее: никто его не слушаетъ; что дядя уже важничаетъ надъ нимъ. На службѣ его обижаютъ, и того гляди, что за старыя дѣла снова отдадутъ подъ судъ. Говоря это, онъ часто плакалъ. Сердце защемило у Дарьи Андреевны, она взяла его за руку и проговорила со слезами:

— Папаша, милый мой! Я чувствовала, что вамъ нехорошо. Меня что-то тянуло сюда... Я думала, что займусь работой, и вотъ здѣсь въ первый же день мнѣ привелось многое испытать. Но я не хочу ничего говорить вамъ, что́ я видѣла и слышала.

— И не говори, не надо. Я знаю, что тебя обидѣла жена Осипа. Это эхидна!

— Я, папаша, останусь съ вами; я буду беречь васъ, ухаживать за вами.

— Спасибо, дочка. Только слушайся и уважай мачеху, и покуда я пью, если что будетъ худо, иди къ протопопу Третьякову, онъ и тебя научитъ, и ее вразумитъ. А я вѣдь пью запоемъ — недѣлю, двѣ, а потомъ цѣлый мѣсяцъ настоящимъ человѣкомъ живу. Тогда я и самъ справлюсь.

— Я, папаша, буду жить въ дѣтской и займусь съ дѣтьми.

— Боже избави! чуть заболѣютъ, мачеха на тебя свалитъ. А я тебѣ сегодня же дамъ комнату рядомъ съ моимъ кабинетомъ.

— Это хорошо. Я тамъ буду заниматься шитьемъ... Я, папаша, буду стараться всѣмъ угождать, особенно мамашѣ.

— Спасибо. Ты одна у меня изъ всѣхъ хорошая дочь. И онъ крѣпко обнялъ ее.

Послѣ этого отецъ сталъ бредить и ничего уже не понималъ. Въ такомъ видѣ онъ пришелъ домой и сталъ надоѣдать гостямъ, но скоро ушелъ спать. Вечеромъ Осипъ Андреичъ былъ любезенъ съ Дарьей Андреевной, а Марѳа Антоновна даже приглашала ее сыграть въ преферансъ, но она отказалась. Миръ повидимому водворился.

Утромъ на другой день дядя и братъ съ женой и дѣтьми уѣхали въ свои резиденціи. Къ брату уѣхала и Марья Андреевна на недѣлю.

VIII.

По отъѣздѣ гостей въ домѣ ни кучера, ни кухарки, ни мамки съ ребенкомъ не оказалось. Когда Дарья Андреевна обошла всѣ комнаты въ домѣ, то тамъ были только мачеха и отецъ, да Владиміръ съ Евлампіей, но послѣдніе бѣгали по палисаднику; отецъ же заперся въ своемъ кабинетѣ. Дарья Андреевна обошла всѣ комнаты, но, не зная, что́ дѣлаютъ отецъ и мачеха и куда исчезла прислуга, была въ большомъ затрудненіи. Уйти куда-нибудь нельзя, потому что залѣзутъ воры; сходила она въ палисадникъ, но братъ и сестра, игравшіе съ шестью ребятами отъ четырехъ до семи лѣтъ, начали говорить ей дерзости и дразнили тѣмъ, что она бѣглянка и что мамаша ее выгнала вчера изъ дому. Изъ разныхъ оконъ на нее съ любопытствомъ смотрѣли почти всѣ служащіе; и она мимоходомъ услыхала нѣсколько нелестныхъ о себѣ отзывовъ. Сарай, каретникъ и погребъ заперты, хлѣвы отворены. Вездѣ разбросаны кадки, ушаты, лопаты и т. п. вещи. Она прибрала все это въ хлѣвъ; заперла парадную дверь, прибрала и вымыла посуду въ кухнѣ, прибрала и вымела въ комнатахъ, такъ что пробилъ уже часъ, и служащіе изъ присутственныхъ мѣстъ стали расходиться. А прислуги все нѣтъ; не выходитъ изъ своихъ берлогъ ни отецъ, ни мачеха, нейдетъ мамка съ ребенкомъ, и у Дарьи Андреевны явилось подозрѣніе: не сдѣлали бы всѣ эти люди чего-нибудь худого, и, главное, куда дѣвалась мамка съ ребенкомъ? Пришли братишка и сестренка и стали просить ѣсть. Дарьѣ Андреевнѣ тоже хотѣлось, но въ кухнѣ, кромѣ ржаного хлѣба и выкипѣвшихъ въ печи щей, да сильно зажаренной говядины съ изуглившимся картофелемъ, ничего другого не было; остатки же отъ вчерашнихъ кушаньевъ или были съѣдены, или спрятаны въ погребѣ или въ чуланѣ, отъ которыхъ она ключей не нашла нигдѣ. Она стала стучаться къ мачехѣ. Слышно, что въ спальнѣ кто-то что-то дѣлаетъ, слышится выдвиганіе комодовъ, но на ея зовъ никто не отвѣчаетъ. Она нѣсколько разъ повторила свое восклицаніе, но ни двери не отворили, и голоса ей не подали. Но когда завопилъ и сталъ ломиться въ дверь Владиміръ, тогда дверь отворили. Тамъ всѣ комоды и шкафы были отперты, на стульяхъ, столахъ и кроватяхъ лежали платья, юбки, бѣлье, на полу шкатулки, коробки. На окнѣ стояла бутылка съ наливкой, рюмка и тарелка съ закуской.

— Что вамъ угодно?—запальчиво спросила Марина Осиповна Дарью Андреевну.

— Мамаша, въ кухнѣ нѣтъ никого—ни дворника, ни кухарки. Володя и Евлаша кушать хотятъ.

— Могутъ подождать.

— Мамаша, и мамки нѣтъ съ ребенкомъ.

Лицо Марины Осиповны передернуло. Нѣсколько минутъ она машинально что-то перебирала въ шкатулкѣ.

— Отчего же вы, сударыня, не посмотрѣли, куда ушла мамка?—проговорила наконецъ Марина Осиповна.

— Я не видала.

— Извольте разыскать ее, — и она захлопнула дверь, заперла ее на ключъ, оставивъ тамъ маленькихъ дѣтей

Дарья Андреевна постояла нѣсколько минутъ въ недоумѣніи, не зная, что дѣлать. Постучалась она къ отцу, но изъ кабинета не слышалось ни звука, ни стука, ни шороха. Поэтому она затруднялась, какъ ей сдѣлать лучше, чтобы уйти искать мамку. И тутъ ей пришла въ голову мысль, что прежде, до ея отъѣзда, отцу часто прислуживалъ сторожъ земскаго суда, Николай, добрый старикъ, всѣми осмѣиваемый въ городѣ, но который очень былъ привязанъ къ Андрею Иванычу.

Во дворѣ бѣгало нѣсколько курицъ, больше десятка цыплятъ, два пѣтуха; было очень жарко. Надъ дворомъ, саженяхъ въ десяти отъ земли, кружился огромный, бураго цвѣта ястребъ, а посреди двора стоялъ, съ палкой въ рукѣ, лысый, горбатый старикъ въ одной рубахѣ и брюкахъ. Махая палкой, онъ старался отогнать ястреба, но тотъ нисколько его не боялся, а, продолжая кружиться, спускался, какъ на зло, все ниже къ землѣ, часто садясь то на крышу заднихъ построекъ, то на крышу дома, то на какое-нибудь дерево.

— Николай! ты бы загналъ цыплятъ-то въ хлѣвъ, а то онъ, пожалуй, словитъ.

— А, здравствуйте, барышня! Ужъ вы загоните сами, а я буду его отгонять. Вчера изъ-подъ самаго носу утащилъ большого цыпленка. Ахъ, если бы ружье! Гоните! Ахъ, ты прорва!!

Сторожъ замахалъ опять. Дарья Андреевна стала загонять, курицы и цыплята гоготали и метались въ сторону, пѣтухи съ яростью смотрѣли на хищную птицу и топорщили перья, а ястребъ въ одинъ мигъ улетѣлъ въ огородъ и потомъ поднялся съ цыпленкомъ и, какъ побѣдитель, пролетѣлъ надъ головою сторожа и скрылся. Николай было погнался за нимъ съ палкой, бросилъ ее, но не могъ попасть въ птицу такъ же, какъ не попалъ бы и въ маленькаго мышенка.

— Ахъ, будь ты проклятъ!.. Вотъ прорва-то... Вѣдь битый часъ отгонялъ!.. И что это за народецъ, ей-Богу! Ну, отчего бы имъ не присмотрѣть.

— Кому смотрѣть-то?—всѣ ушли.

— Я видѣлъ давѣ: Трифонъ нарядился, какъ баринъ. Куда?—говорю. Прощайте—говоритъ: гулять иду. Старушонка тоже ушла, и мамка тоже. Думаю, что же это опять такое? Али баринъ опять нездоровъ? А нынѣ, прости меня Господи, у васъ скверные порядки: самъ запилъ, и сама пьетъ, да лежитъ вверхъ ногами, али поѣдетъ къ Зиновьеву и живетъ дня три. А домъ хоть унеси. Бѣда да и только! Она хоть бы людей-то постыдилась, что люди-то говорятъ... Вотъ теперь опять пожары... Страсти! Неровенъ часъ. И за все я отвѣчай, потому я и судъ караулъ, и домъ караулъ.

Николай такъ привыкъ къ своему гнѣзду—сторожовскому мѣсту въ судѣ, что выходилъ изъ него на короткое время только на почту и въ другія присутственныя мѣста съ бумагами и въ самыхъ экстренныхъ случаяхъ—на рынокъ и въ новую слободу къ вдовѣ Болдыревой, но впрочемъ рѣдко, такъ какъ г-жа Болдырева частенько навѣщала его сама. Онъ въ городѣ квартиры не имѣлъ и часто пользовался пищей изъ Яковлевской кухни за услуги и караулъ дома, да и дѣти Яковлева давали ему чего-нибудь. Поэтому ему нанесли бы кровную обиду, если бы отказали отъ суда, но онъ надѣялся въ этомъ случаѣ, что ему не откажетъ Андрей Иванычъ отъ дому, въ которомъ онъ живетъ уже больше двадцати лѣтъ.

Не знаю, Николай, гдѣ мнѣ розыскать мамку; мамаша приказала немедленно разыскать ее.

— Ваша мамаша дура и больше ничего: развѣ она или вы знаете, куда мамка уходитъ? Она баба деревенская—взяла и ушла! Она здѣсь уже не первый годъ живетъ. У исправника жила, такъ за худое поведенье прогнали. Она, видите ли, баба рабочая. прогнали ее—пошла на пристань работать. Ну, и тѣмъ скотамъ все равно. Трифонъ, извѣстное дѣло, живетъ долго; самъ его любитъ, да и сама старается поблажать ему... Поэтому онъ и не боится никого. Онъ навѣрное придетъ завтра, и баринъ только побранитъ его. А вотъ кухарка-то ушла зачѣмъ? Да я бы ея послѣ этого и часу не держалъ.

— Неужели и раньше такъ было?

— О, о, барышня милая! Плохо зажилъ вашъ батюшка!.. Жалко мнѣ его. А все это происходитъ, простите меня отъ вашей мачехи. Прежде у васъ три коровы были, три лошади, а теперь только двѣ коровы. а лошадка одна, да и та осталась морная. Сколько я упрашивалъ Андрея Иваныча, плакалъ, да упрашивалъ, чтобы онъ не продавалъ гнѣдого. Нельзя—говоритъ старикъ: нужны деньги.

— Однако, гдѣ же я найду мамку?

— Ужъ право, не знаю... Эдакой срамъ! Это ее, должно быть, старушонка съ кучеромъ взмутили, потому у васъ вчера ссора какая-то была. А эта баба глупая; что ей скажи—всему будетъ вѣрить. Я бы и самъ пошелъ разыскивать, да мнѣ нельзя оставить судъ. Развѣ къ Зеленихѣ сходить: она можетъ видѣла, въ которую ваша мамка ушла сторону. А вы надолго сюда пріѣхали?

— Не знаю.—И Дарья Андреевна ушла къ Зеленихѣ, той самой, что вчера рано утромъ разговаривала съ чиновникомъ.

Ребята ея бѣгали по двору, сама она крѣпко спала въ сѣняхъ, положивши голову на порогъ. Но она спала чутко. Когда Дарья Андреевна вошла въ сѣни, она проснулась и проговорила.

— Кой дьяволъ тутъ ходитъ! Ночь караулишь-караулишь, а тутъ еще... Ахъ, это вы барышня! Здравствуйте, милая! садитесь... Я было легла, потому ночь-ту умаешься. А нельзя не караулить, потому нонѣ поджигаютъ...

— Вы не видали нашу мамку?

— Мамку?! А что! Неужели сбѣжала?

— Она уже очень давно ушла изъ дому. Ушла гулять съ ребенкомъ, потому что погода хорошая, но не знаю, отчего ея такъ долго нѣтъ.

— Эдакая негодная женщина! И можно ли съ такимъ махонькимъ ребенкомъ гулять такъ долго? Нѣтъ, моя милочка, я не видала. Я недавно пришла съ пристани... Мнѣ что: видѣла, такъ бы сказала. Ну-съ, каково вы въ монастырѣ поживали? Не хотите ли браги?—и Зелениха засуетилась.

— Нѣтъ, покорно благодарю. Я пойду поищу ее гдѣ-нибудь.

— Напрасно вы будете безпокоиться: она, живши у исправника, со многими нехорошими людьми познакомилась... А впрочемъ, вы въ саду ея не искали? Вѣдь садъ-то у васъ большой.

— Сторожъ Николай говоритъ, что онъ ее видѣлъ, какъ она вышла изъ воротъ.

— А вонъ мой мужъ идетъ—онъ не видалъ ли?..

Во дворъ вошелъ низенькій, тощій мужчина, съ длинными волосами и рябоватымъ лицомъ.

— Будь они прокляты всѣ эти кургузики: опять приказъ отдали, чтобы у домовъ тротуары. А къ чему? Ну, кто ежели богатъ, тотъ и строй, и ходи по нимъ. А намъ и по грязи ходить ладно. А! барышня! здорово живете. Долгонько же вы въ монашкахъ-то были.

— Я не была монашкой; я была только воспитанницей.

— Ну, все едино. Ну, жена, давай ѣсть. Въ этой проклятой думѣ только потѣли, а ничего не ѣли. Ужъ мы вашему господину Зиновьеву за его поборы учинимъ спасибо! будетъ помнить! Коли общества не послушается, мы и жаловаться не станемъ; знаемъ мы, каково жаловаться... Ужъ мы знаемъ, что дѣлать!

Жена ткнула его въ бокъ.

— Чего тычешься. Мнѣ плевать на нихъ на всѣхъ! И не это скажу. Вы хоть передайте это, барышня, хоть нѣтъ, мнѣ все равно. Насобиралъ мерзавецъ деньги на гостиный дворъ, говорилъ: тогда и мѣщане будутъ торговать даромъ, а и теперь по сю пору стоятъ прежніе магазины. Вотъ оно что-съ!—И онъ ушелъ. Дарья Андреевна тоже ушла.

Она пошла къ мѣщанину Мирону Миронычу Иванову, дочь котораго, Настю, она очень любила, но которая умерла.

Миронъ Миронычъ, сидя на кожаномъ стулѣ передъ лавкой, шилъ сапогъ, насвистывая и напѣвая, а сынъ его, Василій, сучилъ пряжу для дратвы. Василій былъ красивый мужчина, двадцати двухъ лѣтъ, слывшій между городскими парнями за отчаяннаго бойца и за злого врага всему чиновному міру. Миронъ Миронычъ былъ одинъ изъ тѣхъ мѣщанъ, которые могутъ заниматься нѣсколькими ремеслами для себя. Такъ онъ умѣлъ понемножку строить, понемногу шить, кое-какъ умѣлъ скласть печь по своей методѣ. Но главное его занятіе было шить сапоги, и онъ считался однимъ изъ первыхъ сапожниковъ въ городѣ, хотя вывѣски не имѣлъ. Вся его комната была загромождена колодками, корытами, въ которыхъ мочилась кожа; въ разныхъ мѣстахъ валялись галоши, передки, задки уже никуда негодные; на простѣнкѣ, между двухъ оконъ, было навѣшено болѣе трехсотъ различныхъ бумажныхъ мѣрокъ. На другой стѣнѣ, выходящей ко двору, было налѣплено множество лубочныхъ картинъ духовнаго и свѣтскаго содержанія. Въ углу на маленькомъ шкапикѣ лежало нѣсколько книгъ.

Увидя входящую въ комнату Дарью Андреевну, Василій Миронычъ растерялся, но дратвы не выпустилъ и неловко отвѣсилъ ей поклонъ.

— Извините... Не видали ли вы, не проходила ли наша мамка съ ребенкомъ?—спросила его дрожащимъ голосомъ Дарья Андреевна. Щеки ее покраснѣли.

— Нѣтъ, не видалъ,—отвѣтилъ Василій Миронычъ. Голосъ его былъ рѣзкій, грубый, басистый.

Отецъ обернулся.

— А! Прошу покорно садиться,—сказалъ вставши Миронъ Миронычъ.—Старуха! эй, старуха!—крикнулъ онъ.

— Благодарю, мнѣ некогда. Я разыскиваю мамку.

— А! Да она недавно прошла мимо дому... Можетъ, кто изъ родни ее зазвалъ. Прошу садиться. Пивка не хотите ли?

— Нѣтъ. Прощайте.

— Ну, какъ хотите... Э-эхъ! Спѣсивы стали. Вотъ что значитъ нѣтъ Насти-то. Здоровъ ли Андрей Иванычъ? Мнѣ къ нему надо за должкомъ сходить: давненько ужъ долженъ.

— Онъ дома; теперь должно быть спитъ.—И она вышла.

У крыльца ее остановилъ Василій Миронычъ.

— Дарья Андреевна!

— Что-съ?—и она обернулась.

— Спесивы стали: и руки подать не хотите.

— Вы сами не подали.

— Нѣтъ,—и онъ подалъ ей руку, она свою.

— О, какъ больно. Пустите.

Онъ выпустилъ руку, и они разошлись.

Проводивши гостей, Андрей Иванычъ допилъ оставшееся въ бутылкѣ вино и легъ спать, но ему не спалось. У него за все время гостей накопилось много бумагъ, на которыя нужно было отвѣчать, нужно было составлять какую-то вѣдомость, но на это онъ чувствовалъ себя неспособнымъ въ это время; кромѣ того, что отъ винныхъ паровъ онъ не могъ что-нибудь сочинить съ толкомъ, онъ былъ разстроенъ еще семейными обстоятельствами; ему почему-то съ перепою даже совѣстно было теперь выйти изъ своего кабинета; онъ чувствовалъ, что онъ почему-то стыдится взглянуть въ глаза Дарьѣ, прислугѣ и въ особенности чужимъ людямъ. Семейныя дѣла его очень тревожили. «Какая перемѣна», думалъ онъ: «день ото дня все становится хуже, а того, какъ я жилъ прежде, теперь и въ поминѣ нѣтъ. Я опустился до того, что меня никто не хочетъ слушать, я ничего не значу, со мною дѣлаютъ, что хотятъ. И отчего это произошло? Отчего прежде меня всѣ боялись?». Заперевъ ключемъ кабинетъ (въ пьяномъ положеніи ему представилось, что изъ кабинета могутъ украсть бумаги), Андрей Иванычъ, незамѣтно ни для кого, ушелъ въ огородъ въ двери, сдѣланныя между погребомъ и каретникомъ—рядомъ съ хлѣвами. Посмотрѣвъ на парники, онъ пошелъ въ садъ и началъ бродить не-

ровными шагами по тропинкамъ. «Это дерево срубить надо—старо, говорилъ онъ вслухъ.—А ты слушай и повинуйся!.. Что за дьяволъ? Куда же онъ ушелъ?.. Кто? Былъ кто-то!..—Отчего я не дерево?. —Я старъ... Умру... А тамъ?.. Тамъ тлѣнъ и все! фи!.. воздухъ.»—Онъ дунулъ на ладонь, посмотрѣлъ на нее и задумался. Полчаса онъ ходилъ молча, потомъ сѣлъ къ пруду, напился воды и началъ вполголоса: «Да, я старъ. Это мнѣ говоритъ и сынъ Осипъ, да я и самъ знаю. Меня скоро выгонятъ, какъ гонятъ вонъ въ губернскомъ городѣ всѣхъ старыхъ служакъ. Порядки нынѣ завелись другіе; рѣчи пошли какія-то книжныя; говорятъ такія слова, что волосы становятся дыбомъ; молодежь если и ходитъ въ церковь, то такъ себѣ—даже образины не перекреститъ, разговариваетъ, смѣется чуть не вслухъ. Даже нашъ исправникъ и казначей заговорили иначе, а исправникъ даже прислалъ какую-то газету съ картинками. Какъ тамъ нашего брата съ откупщиками критиковали—ужасъ! Вотъ и Осипъ издѣвается надо мною: напрасно, говоритъ, вы, папаша, книжекъ новыхъ не читаете; въ нихъ, говоритъ, много хорошаго пишутъ; пишутъ про все, а особенно о новизнѣ какой-то. Нынче, говоритъ, уже время другое: молодому, говоритъ, человѣку—только и житье; если бы, говоритъ, не книги, то и крестьянъ не освободили бы. Ну, не сумасшедшій ли онъ? Но вотъ что мнѣ странно, что съ Дарьей сдѣлалось? Положимъ, въ монастырѣ ее обижали, трудно было ей тамъ; положимъ, и ея письма не доходили до меня; положимъ, она, какъ необязанная поступить въ монахини,—чего и я не хотѣлъ, могла уйти оттуда, но вотъ вопросъ: на какія деньги она пріѣхала сюда? Она говоритъ, что ее снабдили пріятельницы какія-то, но съ какой стати, если онѣ швеи и живутъ сами кое-какъ... Я, говоритъ, хочу сама работать! Вотъ, что меня безпокоитъ. Откуда эта мысль у ней явилась? Вѣдь вотъ другія дочери никогда не имѣли такихъ мыслей. Ужъ не сумасшедшая ли она?»—Онъ немного помолчалъ. «Что, если она въ самомъ дѣлѣ уйдетъ въ губернскій городъ и поступитъ въ магазинъ? это срамъ на мою сѣдую голову, позоръ... А все оттого, что я ее лелѣялъ, не билъ и не притѣснялъ, какъ другихъ дѣтей, а защищалъ передъ Мариной Осиповной, поблажалъ ея дерзостямъ, сквозь пальцы смотрѣлъ на ея затѣи, на чтеніе книгъ: она больше читала, чѣмъ помогала въ хозяйствѣ. Не будь ея, и Марина Осиповна была бы хорошая супруга. вѣдь вотъ съ Машей же у нихъ никакихъ непріятностей не происходитъ; а если и поругаетъ иногда она Машу, такъ та заслуживаетъ того... Однако, что же это такое сдѣлалось и съ Мариной-то Осиповной? Не рехнулась ли она, моя голубушка? Нѣтъ, тутъ что-то другое; характеръ у ней огненный... Эдакое горе!.. А вѣдь какъ подумаешь—сначала-то она была ангелъ, вотъ оно что?! А! Я этому ангелу много довѣрялся, она и забрала меня въ руки и вертитъ мной, какъ куклой... Какъ?»—И Андрей Иванычъ вскочилъ. «Докудова же все это будетъ? Али я не человѣкъ, али у меня нѣту ума? Я твой мужъ!!! Зачѣмъ ты шла за меня замужъ, зная, что у меня много дѣтей? Зачѣмъ шла за старика и обманывала меня въ первые годы жизни со мной? Я хозяинъ въ домѣ, а ты распоряжаешься, какъ полновластная хозяйка, точно я слуга какой-нибудь... Наконецъ я отецъ своимъ дѣтямъ, я долженъ заботиться объ нихъ, а ты должна помогать мнѣ въ этомъ. Нѣтъ, я не дамъ въ обиду своихъ дѣтей! Я радъ пріѣзду Даши, она меня понимаетъ, любитъ, она сумѣетъ поддержать меня. Она моя плоть и кровь! Если ты будешь еще командовать, я все отъ тебя отберу... я тебя прогоню!.. прогоню! прого-оню!!!».

Онъ остановился, ударилъ себя по головѣ, сѣлъ въ изнеможеніи на траву, закрылъ лицо руками и пробылъ въ такомъ положеніи нѣсколько минутъ. «Господи! до чего я договорился. Голова идетъ кругомъ... Да вѣдь если я отберу все отъ жены, что тогда будетъ? Нѣтъ, надо объясниться съ Мариной Осиповной и Дашей. Надо примирить ихъ. Надо имѣть контроль надъ ними, съ этихъ поръ я буду между ними посредникомъ,—на то я и мужъ, и отецъ. Я люблю ихъ обѣихъ больше другихъ моихъ дѣтей».—И онъ пошелъ въ домъ.

Николай сидѣлъ у крыльца своего суда и усердно занимался клееніемъ бумажнаго змѣйка. Около него вертѣлись Владиміръ и Евлампія. Увидѣвши Андрея Иваныча, сторожъ не всталъ, а сказалъ, улыбаясь:

— Покою не даютъ, Андрей Иванычъ: сдѣлай да сдѣлай змѣя... Нельзя. Надо побаловать.

Андрей Иванычъ остановился передъ сторожемъ, поглядѣлъ на него и, ничего не сказавъ, ушелъ. Зашелъ въ кухню—нѣтъ никого, только черный котъ спитъ на столѣ; зашелъ въ дѣтскую—тоже. Воротился во дворъ.

— Николай! не видалъ ли ты прислуги и мамку съ ребенкомъ?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Ты никогда ничего не видишь, скотина!

— Скотина—не скотина, какъ вамъ угодно, а только за всѣми не углядишь. Можетъ, и ушли куда: вѣдь я съ пакетами ходилъ,—соврал Николай.

— Всѣ ушли, папаша. И Дарья Андреевна ушла,—сказалъ Владиміръ.

— Куда ушли?—спросилъ грозно Андрей Иванычъ.

— Не знаю.

— Дарья Андреевна точно ушла; сказывала: пойду мамку разыскивать,—сказалъ сторожъ.

И Андрей Иванычъ ушелъ въ домъ. Въ это время пришла мамка съ спящимъ ребенкомъ.

— Шляются только! Вотъ изъ-за васъ сколько хлопотъ-то было!.. Баринъ ужо тебѣ: ты еще не знаешь его,—проговорилъ сердито Николай, а Владиміръ при этомъ высунулъ мамкѣ языкъ.

Андрей Иванычъ подошелъ прямо къ спальнѣ. Долго онъ стучалъ и кричалъ: «отопри!» Наконецъ ему отвѣтила Марина Осиповна:

— Что вамъ угодно?

— То и угодно, что я требую отпереть.

— А я прошу не безпокоить меня!

— Однако послушай, жена: что это значитъ?

— А то и значитъ, что я хочу спать.

— А если я выломаю дверь?

— Можете разбойничать со своею возлюбленной дочерью, сколько угодно.

Андрей Иванычъ стоялъ удивленный. Онъ не зналъ, что̀ ему дѣлать. Ломать дверь нехорошо: кромѣ ругани путнаго ничего не выйдетъ. Ужъ если она такъ отвѣчаетъ, то насиліемъ только раздражишь ее.

— Послушай, Марина, отопрешь ты, или нѣтъ? мужъ я тебѣ, или нѣтъ? Али я не хозяинъ въ своемъ домѣ?

Марина Осиповна не отвѣчала.

— Послушай однако! мнѣ съ тобой надо поговорить серьезно.

— Говорите съ своей возлюбленной Дарьей Андреевной.

— Прекрасно. А куда ушла мамка?

— Я отпустила.

— Прислуга гдѣ?

— Я отпустила.

— Не отопрешь?

— Нѣтъ.

— Хорошо.

И онъ ушелъ въ залу. Его ужасно взбѣсило поведеніе жены: онъ сжималъ кулаки. И прежде случались сцены съ женой, но до этого не доходило. Къ чести Андрея Иваныча надо сказать, что онъ кулаковъ никогда не употреблялъ въ дѣло съ женами; Марину Осиповну онъ ни разу еще не бивалъ, теперь же онъ не ручался за себя. Онъ долго обдумывалъ, какъ бы ему вызвать жену и уговорить какъ-нибудь. Онъ выжидалъ, не выйдетъ ли къ нему жена, какъ бывало раньше. Прежде, бывало, она покричитъ-покричитъ, уйдетъ, запрется, а черезъ нѣсколько минутъ придетъ въ ту комнату, гдѣ сидитъ онъ, и заговоритъ или о хозяйствѣ, или о чемъ-нибудь; тогда и ей можно дать нѣсколько вопросовъ, а загѣмъ начать ее усовѣщивать; тогда она хотя и поплачетъ и посѣтуетъ на свою несчастную участь, но ему уже не прекословитъ. А теперь она вотъ уже сколько времени не выходитъ. Онъ сѣлъ къ окну. сталъ глядѣть на площадь. Скучно. «Вотъ я и хозяинъ, а что толку, когда жена не уважаетъ меня, точно я у ней подъ башмакомъ. О! если бы ты только пришла сюда! Узнала бы ты, кто я, мѣщанское ты отродье!..»—ворчалъ онъ со злостью.

Пришла Дарья Андреевна. Андрей Иванычъ сидѣлъ злой и глядѣлъ сурово, съ ожесточеніемъ вытягивая изъ длиннаго черешневаго чубука дымъ.

— Кушали ли вы, папаша?

— Я ничего не хочу.

И онъ отвернулся.

— Но какъ же вы не ѣвши?

— Сказалъ, не хочу—и баста!—крикнулъ онъ.

— Можетъ-быть, чаю хотите!

— А ключи гдѣ?

— У мамаши.

— Какъ же ты поставишь самоваръ, когда ключей нѣтъ. Она ушла чортъ знаетъ куда,—соврал отецъ.

Дарья Андреевна молчала. Она не знала—правду говоритъ отецъ, или вретъ.

— Можно купить чаю и сахару,—сказала она.

— Купить? Эдакъ твой братецъ Кузьма можетъ дѣлать, а не я: мнѣ не слѣдъ покупать по мелочамъ. Что̀ городъ скажетъ!

— Но, папаша, дѣти ѣсть хотятъ. Молока даже нельзя достать.

Въ это время въ залу вошла Марина Осиповна.

— Нашли мамку съ ребенкомъ?

— Она уже пришла,—отвѣчала Дарья Андреевна.

Андрей Иванычъ и Марина Осиповна не смотрѣли другъ на друга. Андрей Иванычъ, смотря въ окно, улыбался, а Марина Осиповна не подходила къ нему.

— Попросите Николая поставить,—сказала она Дарьѣ Андреевнѣ, и сѣла черезъ три стула отъ Андрея Иваныча. Дарья Андреевна ушла.

Супруги нѣсколько минутъ молчали. Андрей Иванычъ хмурился, глядѣлъ въ окно, откашливался. Онъ какъ будто хотѣлъ начинать говорить, но выжидалъ. Онъ прежде всегда начиналъ самъ: теперь ему хотѣлось, чтобы начала жена. Марина Осиповна была женщина неуступчивая; ей уже не въ первый разъ приходилось играть мужемъ. Она встала и пошла. Это до того взбѣсило Андрея Иваныча, что онъ вскочилъ и, какъ тигръ, кинулся къ Маринѣ Осиповнѣ, и крѣпко ударилъ ее чубукомъ по спинѣ. Марина Осиповна взвизгнула. Андрей Иванычъ сталъ ее бить и, шипя отъ злости, говорилъ:

— А!.. ты такъ!.. тебѣ меня не слушаться!.. тебѣ надобно командовать!..

Эти побои были такъ неожиданны, что Марина Осиповна сперва не понимала, что̀ такое сдѣлалось съ ея кроткимъ супругомъ, но побои становились слишкомъ чувствительны, и она заплакала, говоря отъ злости и горя:

— Андрей Иванычъ! что съ вами! Охъ!

— А! это вотъ за вы!..

И онъ ударилъ ее по щекѣ. Марина Осиповна сѣла на стулъ и завопила.

— Молчать!! Я здѣсь хозяинъ! Я твой мужъ!..

Запыхавшись онъ сталъ ходить по комнатѣ и ругаться. Жена наконецъ оправилась, встала и ушла.

Съ четверть часа ходилъ въ волненіи Андрей Иванычъ; сперва онъ злился, но потомъ затихъ и ему сдѣлалось стыдно. «Экъ до чего они довели меня! Господи!! Точно я какой-нибудь отчаянный пьяница!..» И онъ остановился.

— Экая гадость! Надо бы сперва поговорить... Мерзко. Господи, прости мое согрѣшеніе...—проговорилъ онъ вслухъ, глядя на образа.

Пошелъ онъ къ женѣ, дверь въ спальню была отперта. Тамъ Марина Осиповна, стоя на колѣняхъ передъ кіотомъ, горько плакала, смотря на образъ Тихвинской Божіей Матери.

— Хоть бы о дѣтяхъ-то позаботилась. Нечего жалобиться, когда сама кругомъ виновата,—проговорилъ онъ, стоя у двери въ спальню.

На душѣ у него было тяжело. Ему захотѣлось приласкать маленькихъ дѣтей и приласкать такъ, какъ никогда. Ему стало стыдно, что онъ уже давно обращался съ Евлампіей и Владиміромъ, какъ чужой, а младшаго ребенка со времени его рожденія и видѣлъ-то рѣдко, о здоровьѣ же и не знаетъ уже, когда справлялся. Онъ чувствовалъ, что теперь очень любитъ дѣтей. И пошелъ въ дѣтскую. Ребенокъ-Анна

былъ спеленатъ и лежалъ на рукахъ мамки. Остальныя дѣти были во дворѣ.

— Гдѣ ты была? — спросилъ вѣжливо Андрей Иванычъ мамку.

— Меня барыня отпустила—я ходила къ родственницѣ,—отвѣчала та рѣзко.

— А развѣ тебя наняли для того, чтобы ты по гостямъ шлялась, да еще съ ребенкомъ!.. Съ сегодняшняго дня, безъ моего спросу, не смѣй никуда ходить, кромѣ нашего сада. Слышишь?!

— Слышу!

И мамка улыбнулась.

— Я не шутя говорю!—крикнулъ онъ такъ, что ребенокъ заплакалъ.

Мамка сперва не давала, но Андрей Иванычъ самъ взялъ его и сталъ укачивать; однако ребенокъ плакалъ хуже, и онъ, положивъ его въ зыбку, самъ сталъ качать ее. Мамка, рѣдко видѣвшая барина въ дѣтской, улыбалась, думая, что это такое сдѣлалось съ бариномъ? Тѣмъ не менѣе сколько Андрей Иванычъ ни укачивалъ ребенка, тотъ не переставалъ плакать.

— Уйдите, баринъ! Ваше ли это дѣло! — сказала мамка и взялась за зыбку.

— Конечно мое: я — отецъ. Вотъ я не доглядѣлъ, ты и убѣжала... Горе тебѣ будетъ, если что съ ребенкомъ сдѣлается!

Послѣ этого онъ распекъ ее за безпорядокъ, прибралъ разбросанныя вещи и ушелъ во дворъ. У крыльца чиновники курили папироски. Увидѣвъ Андрея Иваныча, они вѣжливо поклонились ему; одинъ изъ нихъ, повидимому столоначальникъ, отпустилъ каламбуръ; подражая этому, сострилъ другой, остальные громко хохотали. Изъ одного окна высунулся плѣшивый засѣдатель.

— Здорово, Андрей Иванычъ! Есть водка-то?

— Не привезли еще! — отвѣтилъ Андрей Иванычъ, слегка кивнувъ головой.

— То-то у тебя что-то не видать бутылей. Заходи ко мнѣ—въ картишки сыграемъ.

— Не охота.

— Нѣтъ, однако... А то мы сами нагрянемъ.

Андрей Иванычъ уже не слушалъ; онъ вошелъ въ палисадникъ и, сѣвши въ бесѣдку, задумался. Дѣти его играютъ съ тремя мѣщанскими мальчиками. Въ другое время онъ прогналъ бы мѣщанскихъ мальчиковъ. Тѣ его боялись и, бывало, при видѣ его, убѣгали; но теперь они не убѣжали, и онъ на нихъ повидимому не обратилъ вниманія. Онъ сознавалъ теперь, и кажется въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ имѣть дѣтей, что его дѣтямъ скучно; держать ихъ такъ, чтобы они не играли вовсе, нельзя — мѣшать будутъ, кричать и плакать; отпускать же ихъ къ дѣтямъ должностныхъ лицъ не съ кѣмъ и некуда. У Зиновьева маленькихъ дѣтей нѣтъ, у исправника—тоже, а хотя у казначея и есть дѣти, такъ его жена очень надменная, держитъ себя по-ученому, и дѣти ея тоже ведутъ себя заносчиво; отпускать же ихъ къ мелкимъ чиновникамъ онъ находитъ теперь неудобнымъ; еще пожалуй чиновники будутъ просить его о должностяхъ.

— Володя, Евлаша! идите сюда, — сказалъ отецъ.

Дѣти даже и не взглянули на него.

— Вамъ говорятъ? Пошли вы, мальчишки! Пошли!

И онъ всталъ, взялъ палку. Мѣщанскія дѣти убѣжали.

Ну, что же вы? Кто я вамъ?

Дѣти робко подошли къ нему.

— Ну, садитесь на лавку, вотъ сюда, со мной рядомъ.

Дѣти выпучили на него глаза.

— Что жъ вы, очумѣли, что ли? Садитесь, говорятъ! Розги знаете?

Дѣти робко сѣли. Андрей Иванычъ посадилъ къ себѣ на колѣни Владиміра. Тотъ дрожалъ. Андрей Иванычъ сталъ гладить его по волосамъ.

— Пора ужъ тебѣ учиться, Володька!

— И я хочу учиться,—сказала дѣвочка, кривляясь.

— Не съ тобой говорятъ! Хочешь, Володька, учиться?

— Зачѣмъ?

— Нужно. Чиновникомъ будешь. Вотъ куплю тебѣ азбуку и заставлю учить Дарью.

— Не хочу Дарью.

— Почему?

— Не люблю ея.

— А если я тебя за уши выдеру! Только смѣй еще мнѣ сказать это! Ты долженъ ее слушаться: она тебѣ старшая сестра. Ты любишь папу?

И отъ прижалъ мальчика. Мальчикъ съ испугомъ посмотрѣлъ на отца.

— Что же ты молчишь? Любишь, спрашиваю?

— Папа, ѣсть хочу!—сказала жалобно дѣвочка.

— Папаша, мы ничего не ѣли,—сказалъ мальчикъ.

— Мать развѣ не кормила?

— Кормила... Папа! меня на колѣни!.. — проговорила дѣвочка и запищала.

— Не могу же я обоихъ держать.

— Папа, зачѣмъ мама Дарью била?—спросилъ мальчикъ.

— Врешь! Она большая; ее никто не смѣетъ не только бить, но и ругать.

— Папа, а мы поѣдемъ къ дядѣ? — спросила дѣвочка.

Дѣти стали надоѣдать своими вопросами; занять онъ ихъ не умѣлъ и не зналъ, какъ бы еще приласкать ихъ; но его выручила Дарья Андреевна, крикнувшая изъ окна, что готовъ чай. Въ столовую Андрей Иванычъ пришелъ въ хорошемъ настроеніи; тамъ сидѣла мамка съ ребенкомъ и Дарья Андреевна, но Марины Осиповны не было. Андрей Иванычъ пошелъ за ней. Она сидитъ у окна и вяжетъ чулокъ.

— Иди чай пить!

— Очень вамъ благодарна за побои.

И она хотѣла заплакать, но не могла.

— Послушай, Маня...

И онъ взялъ ее за руку и прослезился.

— Послушай, вѣдь я тебя люблю...

— Это видно: пьяница и драчунъ.

— А отъ кого я сдѣлался пьяницей? Припомни-ка, какой я былъ молодецъ десять лѣтъ тому назадъ, а теперь я что: я хотя и бодрюсь, а на душѣ у меня

кошки скребутъ. Ты говоришь, что я тебя обижаю, а оказывается, что ты меня совсѣмъ прибрала къ рукамъ, дѣлаешь, что хочешь. Ты посмотрѣла бы на домъ, на хозяйство—до чего оно доведено твоимъ управленіемъ? Вонъ въ уѣздномъ судѣ полы сгнили, а гдѣ деньги?

— На вино ушли.

— Врешь! Вина я не покупаю; на себя я почти ничего не трачу, кромѣ табаку. Теперь—какъ у насъ дѣти ростутъ? даже твой и мой любимецъ, Володя, жаловался сегодня, что онъ не ѣлъ. Это только сегодня, а что дѣлается въ другіе дни!.. Прислуга вся распущена.

— Придетъ.

— Кому же караулить? Ты даже вонъ и на кухню-то не спустилась. Ну, хорошо ли это?—Не правъ ли я?

— Вы всегда правы. А вотъ я вамъ скажу, что я теперь отъ всего отказываюсь: ключи я отдала Дарьѣ Андреевнѣ; пусть она дѣлаетъ, какъ хочетъ.

— Ну, это не резонъ. Я хочу, чтобы ты была хозяйка, чтобы тебя всѣ слушались, но чтобы вездѣ былъ порядокъ, какъ бывало прежде. Ну, пойдемъ же!

— Нѣтъ, оставьте меня. Я пойду къ отцу.

— Этого ты не сдѣлаешь. Я знаю твоего отца: онъ тебя не пуститъ къ себѣ. Ну, не сердись.

И онъ ее обнялъ; она его оттолкнула.

— Ну, какъ знаешь. Я велю принести тебѣ сюда чаю.

— Не нужно.

Онъ ушелъ и послалъ за ней Владиміра, но тотъ вернулся и сказалъ, что мамаша плачетъ. Чай пили всѣ молча, даже дѣти рѣзвились какъ-то вяло, будто чувствуя, что у родителей что-то не ладно. Но Марина Осиповна не выдержала, пришла. Дѣти оживились. Она занялась ими и, къ удивленію Андрея Иваныча и Дарьи Андреевны, спросила послѣднюю: «какой нынче вышиваютъ самый лучшій узоръ?».

Завязался разговоръ: стали говорить о родныхъ; Марина Осиповна стала третировать жену Осипа Андреича. Однимъ словомъ, вечеръ кончился хотя и натянуто, но благополучно, и послѣ чаю Марина Осиповна позвала Дарью Андреевну въ кухню изготовить какое-нибудь кушанье, обѣщаясь отказать отъ мѣста и кухаркѣ, и дворнику, съ чѣмъ согласился и Андрей Иванычъ.

IX.

На другой день Марина Осиповна уже сама распоряжалась чаемъ. Повидимому она была въ хорошемъ расположеніи духа и съ Андреемъ Иванычемъ разговаривала, какъ и всегда. Андрей Иванычъ былъ веселъ; Дарья Андреевна чувствовала, что она теперь у себя дома. Разговаривали большею частью о монастырѣ, вышиваньяхъ, кушаньяхъ и т. п. Время шло весело. Насчетъ письмо не было сказано ни слова; зачѣмъ она пріѣхала сюда и что будетъ дѣлать—никто не заикнулся, какъ будто оно такъ и слѣдуетъ ей жить дома, подъ родительской кровлей; о вчерашней ссорѣ отца съ мачехой тоже не было помину, и о ней не зналъ никто. Но изъ обращенія мачехи съ отцомъ и обратно Дарья Андреевна замѣтила, что между ними что-то произошло. Оба они говорили другъ другу вѣжливо, во множественномъ числѣ; она была серьезна, онъ—робокъ. Эта перемѣна Дарью Андреевну удивила: прежде хотя и бывали ссоры между ними, но серьезенъ былъ отецъ, серьезенъ до грубости; тогда и Марина Осиповна потрухивала его и не смѣла ему говорить *вы*, а теперь онъ самъ робокъ, какъ будто боится, и говоритъ ей *вы*. Если же между ними завяжется спорный вопросъ, то отецъ не заключаетъ его словами: «я говорю, что такъ! я больше твоего знаю!», а уступаетъ: «ну, пусть по-вашему, я спорить дальше не намѣренъ». Съ ней, Дарьей Андреевной, она тоже вѣжлива, даже улыбается, и какъ-то хитро-лукаво глядитъ на нее; но, какъ мачеха, говоритъ ей ты.

— Я все, Маня, думаю о томъ, что-то о насъ подумываетъ Ипполитъ Аполлоновичъ? — началъ вдругъ Андрей Иванычъ послѣ чая, прохаживаясь по столовой.

— Чего ему думать? онъ у насъ прожилъ недѣлю и кажется долженъ остаться доволенъ; кажется, мы его, какъ никто, накармливали и ублажали.

— Это такъ. Но вотъ сцена... и такъ неожиданно...—проговорилъ нерѣшительно Андрей Иванычъ.

— Ну, стоитъ объ этомъ говорить. Спасибо, что уѣхалъ: ишь, все ему подавай заграничныя вина, утокъ да индѣекъ, зайцевъ! Ужъ больно жирно... Я, говоритъ, держу лакея, и мнѣ, говоритъ, въ дорогѣ не совсѣмъ удобно безъ лакея.

— Это онъ, мамаша, вѣроятно, на Кузьму намекаетъ,—сказала Дарья Андреевна.

— Какъ такъ?—спросилъ Андрей Иванычъ.

— Кузьма сказывалъ, что когда Платоновы уѣзжали въ Петербургъ, то онъ жилъ у дяди за мѣсто лакея.

— Что жъ, Кузьма и мнѣ писалъ, что онъ жилъ у брата. А такъ какъ онъ пользовался квартирой и столомъ, то онъ долженъ же былъ ему что-нибудь дѣлать. Родственнику не грѣхъ трубку табакомъ набить, сапоги вычистить.

— Положимъ; но зачѣмъ его, племянника, они кормили остатками въ кухнѣ?

— Ну, этого быть не можетъ!

— А я васъ увѣряю: брату не изъ чего врать.

— А ты видѣла?—спросила Марина Осиповна.

— Не видала, но по себѣ сужу. Вѣроятно потому, что я дѣвушка, поэтому они при гостяхъ часто сажали меня обѣдать за общій столъ, а безъ гостей мы только по праздникамъ вмѣстѣ обѣдали.

— Ну, конечно, братъ, поздно приходитъ изъ палаты, а они не хотѣли морить тебя голодомъ. Все-таки, я, несмотря на прежніе наши контры, считаю его добрымъ человѣкомъ. Если бъ не онъ, то я бы пожалуй не скоро получилъ эту должность.

— Ну, ужъ пожалуйста! Я терпѣть не могу, когда вы хвалите тѣхъ, кто не уважаетъ вашу жену, обзываетъ ее мѣщанкой.

— Развѣ неправда?

— Бываютъ мѣщане почище дворянъ. Вотъ онъ хвалится, что Кузьму опредѣлитъ прямо помощникомъ,

а я думаю, что онъ и за опредѣленіе-то въ писцы сдеретъ съ насъ денежки.

— Не можетъ быть!

— Очень можетъ быть. И я готова повѣрить Дашѣ, что Кузьма точно жилъ у него, какъ лакей.

И Марина Осиповна встала.

Андрей Иванычъ пожалъ плечами и ушелъ въ кабинетъ, а Дарья Андреевна стала думать: «что это такое сдѣлалось съ мачехой, что она взяла ея, Дарьи Андреевны, сторону?».

Убрали посуду; мамка ушла въ садъ. Пришелъ Никандръ Иванычъ Павловъ, расфранченный, такъ что его нельзя было бы узнать такимъ, какимъ его видѣли читатели два дня тому назадъ: на немъ былъ надѣтъ форменный новый сюртукъ, жилетка, застегнутая на три нижнія пуговицы, за одну изъ которыхъ продернута была бронзовая цѣпочка отъ часовъ; на груди была тонкая манишка, на шеѣ лиловый галстухъ. Его короткіе, рыжіе волосы и такіе же усы были такъ сильно напомажены, что отъ нихъ далеко разило. Но въ лицѣ его было много отталкивающаго.

Хотя ему и было двадцать восемь лѣтъ, но онъ казался далеко старѣе этихъ лѣтъ, можетъ быть потому, что лицо у него рябое. Каріе его глаза глядѣли какъ-то вяло; носъ широкій, красный, уши большія, ротъ большой и, когда онъ смѣялся, то ротъ растягивался еще на палецъ; лобъ узкій, почему можно было заключить, что въ немъ не очень много ума. Но при всемъ этомъ онъ старался держать себя развязно, только эта развязность была гостинодворская и казалась постороннему человѣку приторною.

— Имѣю честь засвидѣтельствовать свое нижайшее почтеніе!—проговорилъ онъ канцелярскимъ акцентомъ, расшаркиваясь направо и налѣво и краснѣя.

Марина Осиповна кивнула ему слегка головой и проговорила:

— Хорошъ, нечего сказать! Отчего вы не были на крестинахъ?

— Нездоровъ былъ-съ, нездоровъ. На рыболовствѣ простудился.

— Полноте врать: теперь весна, а вы простудились.

— Всяко бываетъ. Я на пятнадцатомъ году такъ простудился, что цѣлый мѣсяцъ отлежалъ. А гдѣ Марья Андреевна?

— Уѣхала къ брату.

— На долго?

Не знаю.

Пришелъ Андрей Иванычъ, одѣтый въ форменный сюртукъ.

— А! будущій зятекъ! Нехорошо, нехорошо... Мы такъ прежде не дѣлывали,—проговорилъ онъ:—кутили? Ну, скажи по совѣсти

Павловъ покраснѣлъ.

То-то вижу по глазамъ. Да не семени! Я говорилъ о тебѣ брату, хотѣлъ похлопотать; только смотри у меня! Вѣдь Маша моя родная. Ты не пойдешь на службу?

Не знаю... Теперь дѣлать нечего... А что?

— Пожалуйста перепиши мнѣ вѣдомостичку. Родіонко хотя и пришелъ, только у него трясутся руки, и я его заставилъ сочинить кое-какія бумаги.

И Андрей Иванычъ ушелъ изъ дому, а женихъ пошелъ въ канцелярію Яковлева, находящуюся въ другомъ отдѣленіи верхняго этажа, гдѣ помѣщался архивъ уѣзднаго суда.

Къ обѣду комнаты приняли надлежащій видъ; на окнахъ попрежнему красовались бутыли съ наливкой. Марина Осиповна похаживала изъ комнаты въ комнату съ довольнымъ лицомъ, а Дарья Андреевна была въ дѣтской, гдѣ ребенокъ кричалъ благимъ матомъ.

— Должно быть, Анюта нездорова,—говорила она мамкѣ.

— А шутъ ее знаетъ! Отчего ей болѣть-то?—говорила флегматически мамка.

Дарья Андреевна стала перебирать въ зыбкѣ бѣлье, которое было мокро. На днѣ ея она нашла рожокъ.

— Это для чего же рожокъ-то?

Мамка покраснѣла, но проговорила смѣло и самоувѣренно:

— А для забавы!

— Да развѣ ребенокъ шести недѣль понимаетъ что-нибудь?

— А вы нешто рожали сами дѣтей! Что вы въ самомъ-то дѣлѣ пристали ко мнѣ! Что вы за распорядитель такой! – уже начала кричать мамка.

— Что такое?—спросила Марина Осиповна, войдя въ дѣтскую.

— Мамаша, я нашла въ зыбкѣ рожокъ и спросила ее, для чего онъ; она говоритъ: для забавы ребенку...—и она разсмѣялась.

— Ну, такъ что же?—съ неудовольствіемъ спросила Марина Осиповна.

Этотъ вопросъ удивилъ Дарью Андреевну.

— Я думаю, что мамка кормитъ ребенка не грудью, а изъ рожка.

— Барыня!.. Что же это такое?.. Да я сейчасъ отойду отъ васъ... Для чего мамка, чтобы не кормить ребенка грудью... Я не потерплю такой напраслины...—проговорила слезливымъ голосомъ мамка.

— Не въ свое дѣло вы, милостивая государыня, вмѣшиваетесь. Нужно увидать на дѣлѣ, а ужъ потомъ заводить дрязги,—сказала Марина Осиповна съ неудовольствіемъ Дарьѣ Андреевнѣ.

Дарья Андреевна не стала возражать и ушла въ огородъ, чувствуя, что ее какъ-будто облило горячей водой.

«Въ самомъ дѣлѣ», думала она: «къ чему мнѣ вмѣшиваться? Видно, что мачехѣ надоѣли дѣти; видно, что она эту дѣвочку не любитъ. Умретъ Анюта, меньше будетъ обузы. Но зачѣмъ же она не говоритъ этого прямо?..»

Въ огородъ вошелъ сторожъ Николай.

— Что это стряслось съ вашей мачехой: сколько времени она не бывала въ дѣтской и вдругъ теперь такой тамъ подняла гвалтъ—бѣда! Наши судейскіе всѣ на крыльцо выскочили. Кухарка выскочила, говоритъ, что барыня мамку по щекамъ бьетъ. Что это случилось съ ней?

— Не знаю.

— Хоть бы вы уняли ее, а то срамъ—кричитъ на весь домъ.

— Не мое дѣло.

Черезъ часъ Дарья Андреевна пошла домой. Писцовъ на крыльцѣ было человѣкъ пять; они хихикали, но крику не было слышно. Когда Дарья Андреевна пришла наверхъ, то Марина Осиповна подошла къ ней съ раскраснѣвшимся лицомъ, держа въ рукахъ ребенка.

— Твоя правда, Даша! Мамка оказалась такая воровка—не приведи Богъ: представь — я нашла у ней два моихъ носовыхъ платка, пару чулокъ и восемь сигаръ...

— Гм...

— Я ее отправила съ дворникомъ въ полицію. Спасибо, что ты мнѣ сказала о рожкѣ, а то она заморила бы ребенка. Придется нанять другую мамку.—Онѣ вышли въ спальную.

— Можно, я думаю, и изъ рожка кормить; вѣдь у нашихъ коровъ хорошее молоко.

— Но кто будетъ водиться: мнѣ нѣкогда, да и не могу же я жить внизу. Ахъ, бѣда!

— Я буду водиться.

— Ну, полно, Даша! Ты дѣвушка молодая, въ этомъ дѣлѣ неопытная. Что люди подумаютъ—когда ты станешь няньчиться съ ребенкомъ? Другое дѣло, если бы ты сама имѣла своихъ дѣтей...

— Какой у васъ, мамаша, взглядъ на это странный. Вѣдь вы сами хорошо знаете, что какъ у мѣщанъ, такъ и чиновниковъ дѣвушки на возрастѣ постоянно водятся съ ребятами, особенно съ такими маленькими.

— Ну что жъ это за люди? Да и опять... опять ты же... какъ тебѣ сказать, непривычна къ этому.

— А если мнѣ придется быть замужемъ? — смѣясь сказала Дарья Андреевна.—Тогда у меня у самой могутъ быть дѣти, а я, никогда не водившись съ дѣтьми, и не сумѣю, какъ взяться.

Марина Осиповна ничего не сказала. Обѣ молчали нѣсколько минутъ.

— Вотъ что, Даша: я схожу въ новую слободку къ бабкѣ Корниловой; она мнѣ дастъ свою дочь— эта дѣвочка смирная,—а ты посмотри за ней!

— Зачѣмъ же вамъ ходить—я схожу: я Корнилову знаю.

— Нѣтъ, ужъ я сама.—И она, положивши спящаго ребенка на кровать, стала одѣваться.

Къ вечеру пришла дѣвочка Настя, годовъ 13, рябоватая, робкая до того, что если ее спрашивали немного повышая голосъ, то она вздрагивала. Марина Осиповна предоставила ей ребенка, котораго она должна была кормить, пеленать и улюлюкивать. Въ провинціи, особенно въ Ильинскѣ, если находятъ, что для ребенка не стоитъ нанимать мамку или для этого нѣтъ средствъ, то нанимаютъ какую-нибудь дѣвочку за рубль. Но такія дѣвочки только первые дни хорошо ухаживаютъ за ребятами, а потомъ возня съ ребенкомъ доводитъ ихъ до изнеможенія, и ребенокъ надоѣдаетъ. Поэтому, хотя Марина Осиповна и наблюдала за дѣвочкой-нянькой, но на четвертыя сутки ребенокъ все-таки умеръ.

Мать по обыкновенію плакала; похороны были богатыя, на нихъ была вся родня и по обыкновенію обѣдъ.

Въ обращеніи Марины Осиповны съ Дарьей Андреевной ничего не замѣчалось худого: все шло, какъ слѣдуетъ. Жизнь въ домѣ тоже шла попрежнему: вставали рано и сбирались въ залу, гдѣ Андрей Иванычъ, какъ патріархъ семейства, читалъ молитвы, послѣ коихъ дѣти поздравляли родителей съ добрымъ утромъ, потомъ начинался день. Самъ Андрей Иванычъ или занимался со своимъ письмоводителемъ въ канцеляріи, или уходилъ покалякать въ казначейство или къ почтмейстеру; Марина Осиповна смотрѣла за огородомъ или что-нибудь вышивала, а Дарья Андреевна учила Владиміра грамотѣ. Андрей Иванычъ не пьянствовалъ, былъ веселъ, шутилъ; часто къ нимъ сбирались гости, которые переливали изъ пустого въ порожнее, играли въ карты по самой маленькой и потомъ въ концѣ-концовъ напивались до того, что уходили домой пьяные. Такъ шло недѣли двѣ... Житье было, что называется, умирать не надо. Почти каждый день ходилъ Павловъ, но его невѣста и не думала пріѣзжать. Но вотъ Марина Осиповна стала уходить изъ дому почти каждый день. Уйдетъ утромъ, когда съ дѣтьми, а когда и безъ дѣтей, и воротится къ вечеру на-веселѣ. Самъ Андрей Иванычъ не обращалъ на это вниманія, но Дарью Андреевну брало безпокойство. Наконецъ на пятыя сутки она и ночевать не воротилась. Утромъ Андрей Иванычъ послалъ дворника къ Зиновьеву справиться, что сдѣлалось съ женой, но тотъ пришелъ выпивши.

— Странно. Надо сходить туда.

Пришелъ онъ отъ Зиновьева блѣдный и, не раздѣваясь и не говоря ни слова, сталъ ходить по комнатѣ.

— Что съ вами, папаша?—спросила съ безпокойствомъ Дарья Андреевна.

— Ничего... такъ... не твое дѣло.

— Мамаша здорова ли?

— Здорова.

— Что жъ она нейдетъ сюда?

— Придетъ завтра... Ха-ха-ха! Достань-ка бутылочку водки!

— Полно вамъ, папаша. Успокойтесь. Мамаша, можетъ-быть, придетъ сегодня: вѣдь она хозяйка въ домѣ; вѣдь я здѣсь одна и безъ нея ничего не знаю.

— Хозяйка! Ха ха! Хороша хозяйка, коли изъ дому бѣгаетъ. Принеси водки.

— Ключи у мамаши.

— А-а! И ключи унесла!—И онъ пошелъ въ кухню.

Тамъ Трифонъ угощалъ своихъ друзей изъ новой слободки. На столѣ стоялъ шипящій самоваръ, чашки, графинъ съ водкой, тарелка съ огурцами; а на шесткѣ и треножникѣ стояла кострюлька, подъ которою былъ разведенъ огонь. Самъ Трифонъ суетился около печки, а гости, двое мѣщанъ—одинъ съ русыми длинными волосами и сѣрыми глазами, корявый, сидѣлъ въ ситцевой палеваго цвѣта рубахѣ у окна и пилъ чай, другой—съ черными остриженными подъ гребенку волосами, сидѣлъ въ рваномъ пальто на лавкѣ и своими манерами походилъ скорѣе на фабричнаго, чѣмъ на мѣщанина; онъ держалъ въ рукахъ огурецъ. Кухарка спала на лавкѣ ближе къ двери.

— Ты говоришь: въ воду?—спросилъ съ улыбкой гость въ рубахѣ гостя въ пальто.

— Конечно. Ночью поймать, заткнуть ротъ, при-

вязать къ горлу веревку съ камнемъ и въ воду, прямо съ пароходной пристани! — говорилъ гость въ пальто.

— Ну, это, Степанъ Гаврилычъ, плохо. Это уголовщиной пахнетъ,—замѣтилъ Трифонъ.

— Ты, пожалуйста, не защищай. Знаемъ мы васъ!

— Ты думаешь, что я живу у виннаго пристава, такъ я ужъ и баринъ сталъ? Ошибаешься, другъ,— обидѣлся Трифонъ.

— Это и видно—вонъ пузо-то какое! Это ужъ рѣшено—въ воду Зиновьева и баста.

— Полно, другъ, языкъ мозолить! Право, если бы кто теперь послушалъ тебя, то подумалъ бы, что ты сумасшедшій...

— Поди ты къ чорту! Развѣ мнѣ не обидно, что меня прогнали отъ рѣки и поселили вонъ на какомъ мѣстѣ? «Извольте, говорятъ, жить, вотъ вамъ по десятинѣ на душу даромъ,—трава, сѣно будетъ...» А сами же своихъ коровъ на наши поля посылаютъ. Никогда мнѣ не забыть, какъ этотъ Оська обсчиталъ меня. Сколько говоритъ у тебя, Степа... слышь! Степа!.. с... сынъ!!... сколько, говоритъ, у тебя сѣна?— Столько-то говорю.—Ну, говоритъ, у тебя одна корова, продай половину.—Думаю, отчего не продать? А онъ и задатку далъ. Ну, ладно, привезъ ему.—Подожди, говоритъ; деньги крупныя.—Прихожу нынче. «Твое, говоритъ, сѣно гнилое,—возьми его назадъ; въ той, въ лѣвой, говоритъ, половинѣ сарая...

— Ты ужъ это въ который разъ разсказываешь? А ты чѣмъ языкомъ-то чесать, обратился бы къ Мирону Иванычу: онъ мужикъ добрый,—посовѣтовалъ Трифонъ.

— Къ дармоѣду-то? Околѣю—не пойду. Онъ, нужды нѣтъ, что языкомъ чешетъ и богатыхъ людей ругаетъ, только это пыль одна; коснись до дѣла, онъ и спрячется. Развѣ онъ чувствуетъ мою нужду? Онъ сытъ. Мы вотъ когда ѣдимъ мясо-то? А онъ въ субботу покупаетъ его фунтовъ по пятнадцати—значитъ, у него щи каждый день. Нѣтъ, онъ мерзавецъ. Это все равно, что обращаться къ твоему барину.

— Мой баринъ славный человѣкъ, только вотъ съ женой у нихъ неладно что-то.

— Туда и дорога!

— А что?—спросилъ гость въ рубашкѣ.

Въ кухню вошелъ Андрей Иванычъ. Гости привстали, а Трифонъ попрежнему возился около печи и мѣшалъ деревянной ложкой въ кострюлькѣ.

— А, Сильвановъ? Ну, что, какъ твой покосъ?

— Что покосъ—оттягали. Знамо, зажиточному человѣку больше надо. А тутъ вотъ и хлѣба-то купить не на что.

— Что и говорить! Нынче все дороже стало. Да вы сядьте.—Андрей Иванычъ сѣлъ и закурилъ трубку.—Вотъ нынче и мясо, и хлѣбъ, и крупа— все подорожало.

— А отчего? Кабы господа дворяне не давали потачки барышникамъ — все бы по-старому было. Знамо—сытый голоднаго не разумѣетъ.

— Ну, ты все объ дворянствѣ, будто ужъ тебѣ и совсѣмъ нечего жрать: вѣдь твоя-то Афимья, поди, отъ молока гривенъ пять въ сутки-то выручитъ,— проговорилъ Трифонъ.

— Нечего на жену указывать: у жены дѣти. Да вотъ теперь я долженъ даже сѣно покупать. Вотъ они какія дѣла-то!

— Да, годъ отъ году все хуже... А ты, Трифонъ, запряги-ко лошадь,—сказалъ Андрей Иванычъ.

— Куда это опять ночью?—сказалъ Трифонъ съ неудовольствіемъ.

— Хочу въ Никольское съѣздить.

Трифонъ посмотрѣлъ на Андрея Иваныча подозрительно.

— Охота вамъ—за семь верстъ киселя ѣсть.

— Все равно оно, положимъ, десять верстъ, все-таки я хочу съѣздить: голова что-то болитъ.

— Мнѣ все едино... Лошадь не моя; заморили ужъ и такъ. Только вотъ мы поужинаемъ. Не хотите ли, баринъ, попробовать водки—въ подвалѣ бралъ: такая скверная.

— Скверная? А ты бы мнѣ сказалъ, я бы тебѣ выдалъ... Въ самомъ дѣлѣ я давно не пробовалъ водки изъ городскихъ кабаковъ. Онъ налилъ въ рюмку, выпилъ,—водка оказалась настоящая, хорошая.

— Нѣтъ, водка ничего: все равно какъ у меня... Такъ ты, пожалуйста, поскорѣе запрягай.—И онъ вышелъ. Поднимаясь кверху, онъ ворчалъ.

— Каналья! укралъ у меня, да и говоритъ, что купилъ. А развяжусь же я съ нимъ—вотъ только продамъ лошадь. Ужъ я ли не за-панибрата съ нимъ, а онъ меня обворовываетъ и женѣ моей помогаетъ...

Какъ только вышелъ изъ кухни Андрей Иванычъ, Трифонъ долго хохоталъ.

— Каково я его провелъ!.. Мнѣ стоитъ только въ погребъ сходить,—тамъ водки и винъ всякихъ пей не хочу. У меня и ключъ есть поддѣльный. А теперь стоитъ только слово сказать: отпустите водки— сейчасъ ерлыкъ дастъ.

— Куда это онъ хочетъ ѣхать?

— Ну, ужъ это секретъ.—И Трифонъ задумчиво сталъ смотрѣть въ печь.

Скоро послѣ этого проснулась кухарка, и въ кухнѣ начался ужинъ, а въ десять часовъ Андрей Иванычъ, къ удивленію Дарьи Андреевны, уѣхалъ на линейкѣ изъ дому. Дарьѣ Андреевнѣ на ея разспросы: куда онъ ѣдетъ, онъ сказалъ только: по дѣламъ.

Раньше было замѣчено, что Марина Осиповна была женщина капризная, самолюбивая и гордая тѣмъ, что отецъ у нея человѣкъ богатый, но она не любила дѣтей Андрея Иваныча, въ особенности Дарью Андреевну. Къ этому нужно еще прибавить то, что Марина Осиповна была женщина хитрая. Воспитанная по-мѣщански, всегда сытая, одѣтая, выросшая въ нѣгѣ, такъ что Осипъ Флорычъ никогда даже не дотрогивался до нея пальцемъ, изъ-за нея часто прогонялъ безъ разбору приказчиковъ и исполнялъ малѣйшіе ея капризы, —она думала, что жизнь ея въ замужествѣ будетъ хорошая, что въ ней она не встрѣтитъ ни сучка, ни задоринки. Когда она была еще невѣстой—дѣвицей, слывшей въ купеческомъ кругу за красавицу, за умную и бойкую, многіе подсылали къ ея родителямъ свахъ, но всѣ эти женихи, хотя и были молоды и красивы, оставались, что называется, съ носомъ, потому что она въ

каждомъ находила какой-нибудь недостатокъ, каждаго она третировала по-своему, каждый былъ почему-нибудь да противенъ ей. Она знала, какова мѣщанская и купеческая жизнь, въ которой мужъ бываетъ ангеломъ только первый мѣсяцъ, а потомъ дѣлается хуже чорта. Сватались за нее и чиновники, но тутъ уже возставалъ отецъ, потому что чиновники-то сватались ради денегъ, которыя прокутить очень немудрено и въ одинъ годъ, да и сама Марина Осиповна презирала мелкихъ чиновниковъ. Ей хотѣлось человѣка значительнаго, богатаго, кроткаго, чтобы быть полновластною госпожею въ домѣ. И вотъ выборъ ея палъ на Андрея Иваныча. Онъ слылъ за богача, человѣка въ высшей степени кроткаго, богомольнаго, такого человѣка, котораго не только всѣ въ городѣ уважали, но даже боялись. Такого дѣльца не было ни въ одномъ присутственномъ мѣстѣ Ильинска. Правда, онъ былъ уже не молодъ, и хотя одѣвался всегда хорошо—все-таки не могъ вскружить голову гордой дѣвушкѣ, но она его не отталкивала, а на его любезности отвѣчала шутками или кокетствомъ, и этимъ болѣе и болѣе разслабляла страстную натуру Андрея Иваныча. Онъ влюбился въ нее до безумія еще за годъ до смерти жены, такъ что рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы онъ не навѣщалъ семейство Зиновьева, не обращая вниманія на городскія сплетни, косые взгляды родныхъ и увеличивающуюся съ каждымъ днемъ грусть и чахотку его жены. Со стороны говорили, что хитрая Маринка непремѣнно дала ему выпить какой-нибудь травы; но Марина Осиповна, слушая эти толки, только улыбалась; ей было все равно, что бы ни говорили люди; она не чувствовала любви къ страстному стряпчему, но ей хотѣлось быть его женой для того, чтобы быть чиновницей: вѣдь она понимала, что изъ стряпчаго очень легко можно сдѣлаться засѣдателемъ, судьей или чѣмъ-нибудь въ губернскомъ городѣ. Дѣти ея не пугали: она еще до замужества придумала средство взять ихъ въ руки. И вотъ она вышла замужъ за стряпчаго. Стряпчій оказался не такъ-то простоватъ, какимъ онъ казался до этихъ поръ. Правда, онъ былъ уступчивъ, и съ этой стороны она забрала его въ руки, но онъ любилъ во всемъ порядокъ, исправность и справедливость. Ужъ если онъ сказалъ, чтобы всѣ вставали въ одно время, пили чай въ такомъ-то часу, обѣдали ровно въ часъ—то такъ и должно быть; если онъ ляжетъ спать послѣ обѣда, то тутъ хоть самъ ангелъ приди—не смѣть тревожить его. Такой настойчивости не ожидала Марина Осиповна въ Андреѣ Иванычѣ и переломить ее не могла нѣсколько лѣтъ и часто плакала, упрекая себя въ томъ, что вышла за такого варвара, который не во всемъ ея слушается. Зато весь деспотизмъ она обратила на дѣтей Андрея Иваныча и довела до того, что они слушались ея во всемъ и дѣлали все, какъ ей хотѣлось... Но не всѣ дѣти Андрея Иваныча подчинились ея деспотизму: Дарья Андреевна не хотѣла слушаться, и въ теченіе года она замѣтила, что сторону этой дѣвчонки держитъ самъ Андрей Иванычъ, который любитъ ее несравненно больше ея, Марины Осиповны. Она крѣпко не взлюбила Дарьи Андреевны, но такъ какъ она была женщина довольно религіозная, прочитавшая такъ много книгъ духовнаго содержанія, то рѣшилась покориться участи замужней женщины до конца. Она вела себя такъ, что въ домѣ все было хорошо. Андрей Иванычъ ее любилъ и, какъ говорится, души въ ней не чаялъ, дѣти, кромѣ Дарьи Андреевны, были привязаны къ ней, потому что она ихъ не обижала; со стороны казалось, что такой согласной жизни трудно и сыскать. Но вотъ Андрея Иваныча смѣстили съ должности, сталъ онъ продавать лишніе экипажи и лошадей; такой роскоши, какая была прежде, уже не стало; онъ сдѣлался неразговорчивъ, угрюмъ, малѣйшая непріятность безпокоила его, сталъ онъ пить. Тогда Марина Осиповна окончательно забрала его въ руки, и забрала для того, чтобы на случай его смерти обезпечить себя, и поставила-таки на своемъ—стурила своего непримиримаго врага въ монастырь. Этотъ годъ она блаженствовала: все дѣлалось по ея волѣ; въ одномъ только она не препятствовала своему мужу: это—пить водку.

Какова же, стало быть, ея досада, когда ея врагъ—Дарья Андреевна, безъ позволенія даже отца, вернулась изъ монастыря домой; мало этого, она затѣяла ссору въ домѣ; изъ-за нея она, Марина Осиповна, просила прощенія у Ипполита Аполлоновича; изъ-за нея ее, Марину Осиповну, Андрей Иванычъ прибилъ чубукомъ!.. Боже мой! Да можетъ ли она послѣ этого жить подъ одной крышей съ этимъ врагомъ? Она даже спать не можетъ въ домѣ Андрея Иваныча. Только-что она начнетъ засыпать, то ей представляется это ненавистное лицо, ей слышится какой-то шорохъ. Все пропало: власть надъ семействомъ, верхъ надъ мужемъ; съ пріѣздомъ падчерицы она въ домѣ стала чужая; мужъ предпочитаетъ ей дочь, которая распоряжается и за самоваромъ, и въ кухнѣ, и въ погребѣ, и въ огородѣ, и въ дѣтской, и даже учитъ ея милаго сына грамотѣ; она, эта богоотступница, именно богоотступница, потому что, какъ она живетъ, въ оба воскресенья не была въ церкви, да и дома за общими молитвами едва-едва перекрестится раза два. Къ концу этихъ двухъ недѣль Марина Осиповна сдѣлалась до того подозрительна, и жизнь ея въ домѣ Андрея Иваныча до того стала невыносимою, что она рѣшилась уйти изъ дому не для того, чтобы окончательно разойтись съ Андреемъ Иванычемъ—нѣтъ, она этой мысли не могла допустить,—а для того, чтобъ выжить изъ дому Дарью Андреевну. И она ушла, подъ видомъ ухаживанья за заболѣвшимъ отцомъ, въ родительскій домъ. Въ самомъ же дѣлѣ, когда Андрей Иванычъ пришелъ къ Зиновьеву, Зиновьевъ собирался ѣхать къ дочери — женѣ священника въ село Никольское, куда собиралась и Марина Осиповна съ дѣтьми.

— Что же это такое, Марина Осиповна, ты ушла изъ дома и нейдешь?—началъ Андрей Иванычъ по приходѣ къ Зиновьеву.

— Что же тамъ мнѣ дѣлать? Вѣдь у васъ есть Дарья Андреевна, — отвѣтила Марина Осиповна обиженнымъ голосомъ.

— А ты бы ее, Андрюха, къ стѣнѣ привязалъ, чтобы не бѣгала,—сказалъ смѣясь Осипъ Флорычъ.

— Я за тобой пришелъ, пойдемъ.

— Очень вамъ благодарна. Я ѣду къ сестрѣ и пробуду тамъ съ недѣлю.

— Плохой же, братъ, ты мужъ. Поколотилъ бы хорошенько чубукомъ, не смѣла бы ѣхать,—проговорилъ опять со смѣхомъ Зиновьевъ.

— Да ужъ и такъ бита-съ,—сказала съ сарказмомъ Марина Осиповна.

— Э-э!.. Поздравляю, зятекъ—не ожидалъ,—сказалъ Зиновьевъ такъ, что у Андрея Иваныча по кожѣ точно мурашки забѣгали.

Въ село онъ не поѣхалъ, а поѣхалъ къ исправнику, въ окнахъ котораго увидалъ большое освѣщеніе. Тамъ была вся городская аристократія, играли въ карты. Андрей Иванычъ тоже сѣлъ играть; ему не везло. Домой онъ пріѣхалъ уже въ третьемъ часу утра. Между тѣмъ Дарья Андреевна, узнавши отъ вернувшагося Трифона, гдѣ отецъ, долго сидѣла въ своей комнатѣ за работой, поджидая отца. Ей было скучно, грустно и страшно; комнатъ много, а она одна въ нихъ; чуть гдѣ-нибудь тараканы зашевелятъ бумагой, ей кажется, что идутъ воры; мышь заскребется—кажется, кто въ окно лѣзетъ.

«Да, думала она, теперь я все поняла: мачеха бѣгаетъ отъ меня. Надо мнѣ уйти отсюда. Надо убѣдить отца, чтобы онъ отпустилъ меня на всѣ четыре стороны».

Пришелъ отецъ, но онъ, что называется, и лыка не вязалъ, а какъ только вошелъ въ свой кабинетъ, грохнулся на диванъ въ виц-мундирѣ, да такъ и заснулъ. Много было ей возни, чтобы снять съ него его облаченіе и уложить, какъ слѣдуетъ.

Утромъ за чаемъ Андрей Иванычъ былъ сумраченъ. И бѣгство жены, и проигрышъ въ карты, и хмель въ головѣ—все мучило его.

— Папаша, отпустите меня... — начала робко Дарья Андреевна.

— Куда?

— Да хоть въ Егорьевскъ.

— Зачѣмъ? Опять старыя сказки! О, будьте вы... — Онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Папаша, я понимаю, что мамаша потому нейдетъ домой, что я здѣсь. Извѣстно, что два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживаются, — такъ и наше дѣло. Я не считаю себя медвѣдемъ, но вѣрно мамашѣ угодно меня считать имъ.

Отецъ молчалъ.

— Мамаша, вы знаете, меня не любитъ...

— Сама виновата!.. И отчего это она только тебя одну не любитъ? А оттого, что ты слишкомъ заносчива, самоувѣренна, фанаберіи разной гдѣ-то набралась, непочтительна къ старшимъ... Иди! ну, иди!! Хоть къ чорту!.. А я тебѣ благословенія не дамъ... Гинь какъ червь, я тебѣ не дамъ помощи.

— Папаша, я для вашего же спокойствія прошу отпустить меня,—проговорила Дарья Андреевна со слезами.

— Что мнѣ спокойствіе, когда я уже можетъ быть одной ногой въ гробу стою! Вамъ вѣдь не жалко отца.—Онъ сѣлъ въ изнеможеніи на стулъ.

Съ полчаса длилось молчаніе, прерываемое плачемъ Дарьи Андреевны.

— Хорошо, я тебя, Дарья, отпущу къ отцу Сергію. Какъ только жена пріѣдетъ изъ Никольскаго, ты и ступай къ нему; вмѣстѣ пойдемъ. А до тѣхъ поръ ты нужна въ домѣ. Она черезъ недѣлю хотѣла вернуться. Согласна?

— Согласна.

Андрей Иванычъ ушелъ.

X.

Прошла недѣля,—Марина Осиповна не возвращалась. Пришелъ Зиновьевъ и сказалъ, что она уѣхала къ Осипу Андреичу. Прошла другая недѣля,—не ѣдетъ. Андрей Иванычъ сперва сердился, но потомъ какъ-будто сталъ позабывать о существованіи жены, только о дѣтяхъ вспоминалъ часто. Онъ сдѣлался бодрѣе и веселѣе, хотя отсутствіе дѣтей и хозяйки дома часто заставляло его задумываться. До обѣда онъ занимался въ своей канцеляріи съ Родіономъ, который тоже былъ трезвый, а послѣ обѣденнаго сна или ухаживалъ за цвѣтами, за фруктовыми деревьями, прочищалъ въ саду дорожки, или у него собирались гости. Хотя онъ гостей и не очень жаловалъ, потому что, во-первыхъ, лишнихъ денегъ на игру въ карты у него не было, во-вторыхъ, своими сплетнями они нагоняли на него тоску и злость, и въ-третьихъ, онъ выпивалъ лишнее, такъ что утромъ приходилось ему опохмеляться, послѣ чего онъ уже не могъ заниматься письменной работой; но отказать гостямъ не было рѣшительно никакой возможности. Они лѣзли сами, потому что имъ дома скучно; пискъ ребятъ надоѣдаетъ хуже горькой рѣдки, съ женами сидѣть тошно: отъ нихъ кромѣ неудовольствій и жалобъ на недостатки, да брани за трату денегъ на карточную игру, ничего хорошаго не слышишь; говорить съ ними не о чемъ, и будь хоть какой рѣчистый человѣкъ, такъ слова будутъ раздаваться понапрасну. Сверхъ того, пить дома водку не стоитъ—дѣти не дадутъ спать и убыточно; у виннаго же пристава водки много, закуска хорошая, хозяйка — Дарья Андреевна, — любезная, красивая и разговорчивая; да и играетъ-то Андрей Иванычъ плохо и выиграть съ него не грѣхъ: «у него отъ стряпческой должности, поди, сундуки ломятся отъ денегъ». На этихъ-то основаніяхъ, благодаря отсутствію Марины Осиповны, гости стали навѣщать Андрея Иваныча чуть ли не каждый день, такъ что зала освѣщалась вплоть до полнаго разсвѣта, и въ городѣ стали говорить, что Яковлевскій домъ превратился въ игорный.

Постоянными гостями Андрея Иваныча, за исключеніемъ жениха Марьи Андреевны, который посѣщалъ Яковлевыхъ каждый день, были исправникъ, судья, казначей, засѣдатели Трынкинъ и Яновскій и почтмейстеръ Срѣзневъ. Всѣ эти господа, казалось, жили между собой дружно, и если напримѣръ назначенъ былъ вечеръ у почтмейстера, то вся компанія собиралась къ почтмейстеру и т. д. Нерѣдко они и ругались за картами, но на другой день здоровались дружески, какъ ни въ чемъ не бывало. Изъ нихъ Трынкинъ и Яновскій были холосты и считались въ городѣ видными женихами, но всѣ послѣдняго предпочитали первому. Трынкинъ былъ низенькій, черезчуръ толстый мужчина съ большой головой, съ рѣдкими сѣ-

дыми волосами, которые хотя онъ и натиралъ фиксатуаромъ, но они къ досадѣ его никакъ не могли почернѣть, а казались желтыми. Въ судѣ говорили, что онъ глупъ, самъ же онъ считалъ себя красавцемъ, носилъ бѣлый глухой жилетъ и вицмундиръ съ свѣтлыми пуговицами. Яновскій былъ молодъ, красивъ, любезенъ и могъ занять какую угодно барышню. Онъ очень хорошо понималъ, что почти вся аристократія Ильинска образована плохо, что съ нимъ спорить никто не можетъ, потому и говорилъ,—говорилъ, самъ не понимая, что̀ говорилъ, и торжествовалъ, потому что его слушатели и слушательницы или сидѣли молча съ разинутыми ртами, похлопывая глазами, или до коликъ въ животахъ хохотали надъ его передразниваніями. Что касается до его служебной дѣятельности, то онъ, хотя и кончилъ курсъ въ гимназіи, въ судѣ бывалъ только для того, чтобы провести время за подписываніемъ бумагъ и разговорами о прошедшемъ днѣ и предстоящей карточной игрѣ. Онъ одѣвался по модѣ, ходилъ съ тросточкой, отъ него постоянно пахло одеколономъ. Андрей Иванычъ считалъ его вертопрахомъ, т.-е. пустымъ человѣкомъ, но не сердился на его посѣщенія, потому что Яновскій любезничалъ съ Дарьей Андреевной, и онъ непрочь былъ выдать ее за него, тѣмъ болѣе что родители Яновскаго были люди богатые, имѣли связи въ губернскомъ городѣ, и Яновскій, стало быть, могъ современемъ далеко пойти. Но душою всего общества былъ почтмейстеръ Назаръ Алексѣевичъ Срѣзневъ. Онъ былъ 28 лѣтъ, высокъ, худощавъ, чахоточный, но мастеръ подлаживаться къ какому угодно человѣку, такъ что его любили и крестьяне, и мѣщане, и чиновники. Онъ былъ вдовъ, но у него было уже пятеро дѣтей; жениться онъ не хотѣлъ, потому что ждалъ смерти, и все свободное время проводилъ за картами. Одно, что не нравилось въ немъ компаніи,—это скупость его: позоветъ гостей, усядутся за карты, а водки нѣтъ. Потребуютъ водки; поставятъ графинъ, принесутъ ржаного хлѣба, рѣдьки и огурцовъ—вотъ и закуска.

— Ну, это, братъ, свинство,—говорятъ ему гости.

— Что дѣлать, господа! Я хоть и въ Петербургѣ выросъ, а теперь ѣмъ горошницу да рѣдьку. Сами посудите, какое мое жалованье: вѣдь у меня пятеро птенцовъ.

— А доходъ? Съ крестьянъ развѣ мало берешь?

— Что съ нихъ, подлецовъ, возьмешь нынче? Иной нищій лучше ихняго живетъ.

— Оно пожалуй...

И гости замолчатъ. Зато въ гостяхъ Срѣзневъ не церемонится, и, если мало пьетъ водки, то яствія истребляетъ неимовѣрно.

Никандръ Иванычъ Павловъ въ эту компанію не мѣшался, да его и не приняли бы. Онъ былъ всего на все только помощникъ бухгалтера, имѣлъ только первый чинъ, не умѣлъ связно сказать нѣсколькихъ словъ, былъ сынъ промотавшагося купца, отъ котораго матери его, слѣпой старухѣ, достался ветхій домишко; хотя онъ и получалъ съ доходами рублей восемнадцать въ мѣсяцъ, но вслѣдствіе пьянства съ товарищами и разгульной жизни ему приходилось ѣсть мясо только по воскреснымъ днямъ; въ остальные же дни онъ набивалъ животъ, чѣмъ попало—и похлебкой съ картофелемъ, и щами изъ кислой капусты, и преимущественно киселями гороховымъ и калиновымъ. Сдѣлавшись женихомъ Марьи Андреевны, онъ ходилъ къ Андрею Иванычу каждый день, потому что у того былъ сытный обѣдъ и хорошая наливка. Но Дарья Андреевна дней черезъ пять по отъѣздѣ мачехи стала замѣчать, что Никандръ Иванычъ выходитъ изъ-за стола только на-веселѣ, а уходитъ домой совсѣмъ пьяный. Стала она наблюдать за нимъ, и однажды увидала слѣдующее: сидѣлъ Никандръ Иванычъ въ залѣ на стулѣ около окна, на которомъ стояли двѣ бутылки, и вдругъ всталъ, поглядѣлъ кругомъ себя, взялъ бутыль, выпилъ изъ горлышка, поставилъ на мѣсто и опять сѣлъ.

По уходѣ его она унесла бутылки въ другую комнату. Когда отецъ хватился бутылей, то она сказала ему улыбаясь:

— Водка усыхаетъ, папаша. Я унесла ее въ свою комнату.

— Какъ усыхаетъ?

— Не угодно ли посмотрѣть.

Посмотрѣлъ отецъ на бутылки, покачалъ головой и проговорилъ съ улыбкой:

— Хитеръ подлецъ этотъ, Никашка—изъ всѣхъ понемножку полакалъ. То-то я все удивляюсь за обѣдомъ: что это, молъ, съ нимъ сдѣлалось, что онъ пьетъ мало?.. А онъ, выходитъ, тоже и политику знаетъ.

Долго хохотали на другой день отецъ съ дочерью надъ Павловымъ. За обѣдомъ Павловъ былъ молчаливъ, пилъ мало, но какъ вышли изъ-за стола, онъ сдѣлался любезенъ и, пожелавъ Андрею Иванычу спокойнаго сна, пошелъ въ залу, взглянулъ на окна и остановился. Вышелъ онъ изъ залы съ помутнѣвшимъ лицомъ, сурово взглянулъ на Дарью Андреевну и, какъ угорѣлый, не прощаясь съ нею, ушелъ изъ дому.

Видя въ будущемъ зятѣ такого пьяницу, зная, какъ глупа ея сестрица, и предчувствуя, что изъ такого брака едва ли можетъ выйти что-нибудь хорошее, Дарья Андреевна рѣшилась поговорить съ Павловымъ серьезно. Но Павловъ не приходилъ двое сутокъ, а на третьи утромъ къ Андрею Иванычу пришла старуха мать его узнать, не у него ли находится ея сынъ.

— Вѣдь денегъ-то у него, сорванца, нѣтъ. Ужъ я думаю, не вы ли, Андрей Иванычъ, дали ему?—вопила старуха.

— Нѣтъ, старуха, денегъ онъ у меня не выклянчитъ. Не дамъ,—отвѣчалъ тотъ.

— И покорно благодарю. Да, вотъ что, позвольте васъ спросить, могу ли я его выстегать въ полиціи?... Вѣдь я мать, только вотъ у него чинъ этотъ замѣшался.

— Выстегать можешь, только этимъ ты его не образумишь, а хуже вооружишь противъ себя. Ты бы вотъ поменьше ворчала на него да сама бы бросила водку. Вѣдь ты хоть и слѣпая, а небось дорогу въ кабакъ знаешь. Говорятъ, что ты будто у него, у пьянаго, вытаскиваешь малую-толику.

Когда она ушла, Дарья Андреевна спросила отца:

— Папаша, зачѣмъ вы Машу выдаете за пьяницу?

— Ну, матушка, мнѣ это дѣло ближе, и я знаю, что дѣлаю. Онъ хоть и пьетъ, но пьетъ не запоемъ и дѣло свое хорошо знаетъ. У него голова золотая: ты его хоть на какую должность опредѣли—онъ нигдѣ не пропадетъ. Пьянствуетъ онъ потому, что ему дѣлать нечего, скучно, старуха его дома грызетъ; а вотъ какъ женится, я его помѣщу у себя, онъ и перестанетъ пьянствовать.

На другой день послѣ этого былъ праздникъ; въ судахъ не занимались, но въ уѣздномъ судѣ кряхтѣлъ надъ разными бумагами засѣдатель Трынкинъ. Сторожъ Николай, намѣревавшійся отправиться въ слободу, злился ужасно, а засѣдатель то и дѣло звонилъ въ колольчикъ и требовалъ отъ Николая воды или просилъ узнать, пріѣхалъ ли изъ церкви Андрей Иванычъ и гдѣ въ настоящее время находится Дарья Андреевна. Андрея Иваныча ему пришлось дожидаться недолго, и какъ только онъ въѣхалъ во дворъ, Трынкинъ высунулся въ окно и поздравилъ его съ праздникомъ. Андрей Иванычъ по обыкновенію пригласилъ его напиться чаю. Дарья Андреевна готовила въ кухнѣ кушанья, потому что кухарка отпросилась въ деревню; ей помогала дѣвочка Настя, оставленная Андреемъ Иванычемъ, по просьбѣ ея матери, служить у него изъ-за куска хлѣба; чай подавала Настя.

— Смучился я, Андрей Иванычъ, съ этими дѣлами! Добрые люди въ церковь ходятъ, а ты корпи. Дѣла такъ много, что иной разъ и праздникамъ не радъ,—говорилъ Трынкинъ.

— Да какія же у васъ дѣла такія? Я думаю, нерѣшенныхъ штукъ двадцать.

— Эка! штукъ сто. Все больше о грабежахъ да кражахъ.

— Ну, это дѣла однородныя. Взять только одно подобное рѣшеніе изъ рѣшеннаго дѣла, и катай копіи. Статьи однѣ.

— Это было въ ваши времена. А нынче разнообразіе, требуютъ тоже витіеватости.

— Хмъ! Да, какую сегодня Пьянковъ проповѣдь прочиталъ!

— О чемъ?

— А право позабылъ. Читалъ такъ хорошо, витіевато,—представить себѣ не могу и передать не сумѣю.

— Ученый человѣкъ... А гдѣ же молодая хозяйка?

— Стряпаетъ...

— Ну, ужъ я у васъ пообѣдаю.

— Всеконечно, всеконечно.

Кончили чай. Пришла Дарья Андреевна. Трынкинъ всталъ, поклонился какъ-то бокомъ, подалъ широкую лапищу съ толстыми пальцами, на одномъ изъ которыхъ было надѣто золотое кольцо, которое снять не было никакой возможности безъ инструмента. Глаза его засѣменили, лицо сдѣлалось смѣшнымъ, потому что отъ улыбки ротъ сталъ очень широкъ и его немного перекосило.

— Какъ вы загорѣли, Дарья Андреевна!

— Она у меня нынче вездѣ: и въ кухнѣ, и во дворѣ, и въ огородѣ—какъ не загорѣть.

— А вы похорошѣли!

— Меня это нисколько не интересуетъ.

— Ну ужъ!

— А ты пила ли чай-то?—спросилъ отецъ.

— Пила, папаша. Ѣсть захотѣлось.

— А обѣдъ скоро?

— Сычугъ еще не зажарился. Черезъ полчаса будетъ готово.

— А ты вели Настѣ подать рыжиковъ да водки; мы пока до обѣда червяка заморимъ. А не сыграемъ ли въ шашки?

— Сыграемъ.

Стали играть въ шашки, но Трынкинъ былъ задумчивъ и разсѣянъ, такъ что оживленія въ игрѣ не было, и Андрей Иванычъ безъ труда запиралъ его шашки. Наконецъ онъ бросилъ шашки.

— Да что съ вами сегодня, Матвѣй Тарасычъ? Играете вы всегда хорошо, а сегодня ни къ чорту не годится. Ужъ подъ судъ васъ не отдали ли?

— Нѣту. Такъ, на нутрѣ какъ будто кошки скребутъ...

— Такъ выпьемъ.

Выпили.

— Отчего вы не женитесь?

— На какомъ чортѣ я женюсь?

— Господи помилуй, да развѣ у насъ мало невѣстъ. Вонъ у одного исправника цѣлый возъ невѣстъ.

— Благодарю покорно—комедьянтки!

— Ну, у новаго стряпчаго — вонъ какая здоровая у него сестра.

— Плевалъ бы я на него. Это фанфаронъ, недоученый гимназистъ.

— Онъ въ университетѣ былъ; только не кончилъ тамъ курса. Ну, вотъ у Зиновьева?

— Безбожница, развратница; по набережной вечерами шатается.

— Ну, это ужъ врете.

— И я съ своей стороны могу вамъ замѣтить, Анисья Осиповна не такая дѣвушка, какъ вы думаете, — сказала Дарья Андреевна, накрывавшая въ это время столъ бѣлою скатертью.

— Извините.

— Напередъ узнайте человѣка, а потомъ говоте,—отвѣтила ему рѣзко Дарья Андреевна.

Трынкинъ растерялся совершенно; красное его лицо побагровѣло, такъ и думалось, что оно лопнетъ, оно покрылось крупными пузырями пота; платка у Трынкина не оказалось, и онъ то и дѣло обтиралъ его рукавомъ своего вицмундира.

— Экое вѣдь канальство, платокъ въ судѣ оставилъ,—хрипѣлъ Трынкинъ.

— Николай уже ушелъ. Я вамъ принесу свой платокъ, только вы непремѣнно возвратите его.

Когда Дарья Андреевна дала ему платокъ, онъ просіялъ. Опять засѣменили глаза, опять появилась смѣшная улыбка, и уши, какъ у осла, слегка передернулись.

Обѣдали втроемъ. Сначала молчали, но когда было выпито Трынкинымъ три рюмки, онъ началъ разсказывать объ исправницкихъ дочеряхъ, какъ онѣ ежедневно метутъ подолами песокъ на бульварѣ, т.-е. на набережной.

— Вы, Матвѣй Тарасычъ, кажется, только тѣмъ

заняты, что замѣчаете, кто какого поведенія,— замѣтила ему Дарья Андреевна.

Трынкинъ замолчалъ, а отецъ посмотрѣлъ на дочь и мигнулъ однимъ глазомъ на гостя.

Послѣ обѣда Андрей Иванычъ по обыкновенію легъ спать, но не въ саду, а въ кабинетѣ, потому что жаловался на ломоту въ ногахъ. Трынкинъ распрощался и ушелъ. Черезъ часъ Дарья Андреевна пошла въ садъ. Она находилась въ хорошемъ настроеніи и, обдергивая сухіе листья съ цвѣтовъ, напѣвала вполголоса какую-то пѣсню. Каковъ же былъ ея испугъ и удивленіе, когда, присѣвши около одной клумбы, она услыхала, что кто-то передъ самымъ ея ухомъ пропищалъ «кукарику!». Взглянула—Трынкинъ.

— Извините-съ! — оправдывался Трынкинъ осклабляясь.

— Какъ это вѣжливо!..

— Ужъ вы и сердиться!..

— А кто давеча осуждалъ исправницкихъ дочечей? Не стыдно вамъ? До сѣдыхъ волосъ дожили, а ума не нажили.

— Простите великодушно!..

— Да я и не сержусь. Только если вы въ другой разъ позволите себѣ такія выходки, я иначе съ вами расправлюсь.

— Что же вы сдѣлаете?

— А попрошу выйти вонъ.

Дарья Андреевна подошла къ яблонѣ. Она была хороша въ это время: глаза ея блестѣли, щеки покрылись румянцемъ.

— Дарья Андреевна...—началъ дребезжащимъ голосомъ Трынкинъ.

— Что?—и она обернулась.

Лицо Трынкина было и страшно, и жалко: оно было блѣдно, на немъ появилось много складокъ, глаза сузились, вѣки мигали, какъ у бумажнаго дрыгунчика дрыгаютъ руки и ноги,—такъ и казалось, что эта туша вотъ того и гляди что разревется, и изъ глазъ ея польется обильное количество слезъ.

— Дарья Андреевна...—едва проговорилъ Трынкинъ и захлебнулся, а изъ глазъ потекли слезы.

— Господи! Да что съ вами? — спросила въ испугѣ Дарья Андреевна.

— Я одинокъ... — стоналъ и плакалъ Трынкинъ.—Васъ не любитъ мачеха—я знаю... Я васъ люблю...

Дарья Андреевна захохотала.

— Я хотя и старъ, но я васъ люблю. Дарья Андреевна... Не смѣю... О! будьте мнѣ подругой, то-есть я хочу сказать—супругой, женой...

— А если я васъ не люблю?

— Полюбите.

— Нѣтъ, я васъ никогда не полюблю.

— Почему?

— Нельзя любить насильно. Да и надо вамъ признаться, что у меня вовсе нѣтъ охоты выходить замужъ, и меня никто, даже папаша, не принудитъ къ этому. Прощайте!—и она, кивнувъ ему головой, ушла, но скоро вернулась посмотрѣть, тутъ ли Трынкинъ. Трынкинъ рвалъ цвѣты и торопливо засовывалъ ихъ за пазуху.

— Какъ вамъ не стыдно воровать цвѣты! Господинъ женихъ, оглохли вы?

Трынкинъ встрепенулся, цвѣты разсыпались.

— Я на память. Прощайте!

— Подберите цвѣты-то, я знаю, у вашей хозяйки тоже есть цвѣты.

Но Трынкинъ ушелъ съ багровымъ лицомъ. Вышедши за ворота, онъ ворчалъ: «Мерзавка! Я хотѣлъ ей благодѣяніе сдѣлать, а она вонъ какъ оконфузила меня. Чай кто-нибудь слышалъ у сосѣдей... А жалко! Ну, да чортъ съ ними. Удружу я вамъ!..»

А Дарья Андреевна долго послѣ этого ходила по саду съ задумчивымъ лицомъ: предложеніе Трынкина ее возмущало. Но она рѣшилась не сказывать отцу объ этой сценѣ.

Прошла и третья недѣля по отъѣздѣ Марины Осиповны изъ Ильинска. Андрей Иванычъ написалъ письмо женѣ, въ которомъ увѣдомлялъ ее между прочимъ, что у нихъ поспѣли огурцы, и Христомъ-Богомъ просилъ ее пріѣхать. Она написала, что ей живется у сына хорошо; въ пяти верстахъ отъ села нынѣшнимъ лѣтомъ открыты сѣрныя воды, и она съ Володей пьетъ эти воды по совѣту доктора и, вѣроятно, будетъ лѣчиться все лѣто, а если ему ужъ такъ она нужна, то онъ можетъ и самъ пріѣхать къ сыну и тоже пить воды; что же касается до свадьбы, то Маша еще успѣетъ нажиться въ замужествѣ, и свадьбу можно сыграть осенью. Поэтому Андрей Иванычъ подалъ прошеніе въ отпускъ.

Попрежнему къ нему сбирались гости, только Трынкинъ не приходилъ. Хотя въ обращеніи съ Андреемъ Иванычемъ онъ и былъ вѣжливъ, но говорилъ неохотно, и замѣчалась натянутость. Зато чаще другихъ гостей къ Андрею Иванычу сталъ ходить Яновскій. Андрей Иванычъ часто въ глаза называлъ его болтуномъ, но онъ не обижался, говоря. что старый человѣкъ есть отсталый, онъ-де не понимаетъ современнаго, нынѣшняго человѣка. Надобно замѣтить, что Яновскій считалъ себя отъявленнымъ нигилистомъ въ кругу барышень и простоватыхъ мужчинъ, хотя и не понималъ, что такое нигилизмъ; онъ хваталъ на-лету новыя слова и носился съ ними всюду, не понимая самъ въ нихъ смысла.

Ни Андрей Иванычъ, ни Дарья Андреевна не обращали вниманія на его частыя посѣщенія. Андрей Иванычъ, напротивъ, развлекался его болтовней и, научивъ его играть въ шашки, подолгу просиживалъ съ нимъ за этимъ занятіемъ, а Дарья Андреевна считала его полоумнымъ и часто потѣшалась надъ нимъ. Онъ не обижался. Словомъ, онъ былъ какъ свой у Яковлевыхъ, а въ городѣ его уже называли женихомъ Дарьи Андреевны и спрашивали его, особенно дѣвицы: скоро ли будетъ его свадьба съ дочерью виннаго пристава?

Разъ Андрей Иванычъ ушелъ въ казначейство и засидѣлся тамъ. Дарья Андреевна перешивала свое старое шолковое платье на новое и пѣла пѣсню. Кто-то постучался въ парадную дверь. Колокольчиковъ у дверей въ домѣ Андрея Иваныча не было. Стучавшійся былъ Яновскій.

*

— Андрей Иванычъ дома?—спросилъ онъ самымъ вѣжливымъ образомъ.

— Онъ въ казначействѣ; вѣроятно, скоро придетъ. Онъ не любитъ обѣдать гдѣ-нибудь.

— Какая вы злая: сейчасъ и намекаете на меня. Извольте, я ретируюсь,—и онъ повернулся.

— Куда же вы? посидите. У насъ сегодня пирожки.

— Мерси! Но я, право, такъ часто... Мнѣ совѣстно...

— Полно вамъ! Идите въ залу, коли хотите пирожковъ, а не хотите—воля ваша.

Вошли въ залу. Дарья Андреевна сѣла къ окну съ шитьемъ, а Яновскій, стоя у того же окна, барабанилъ по спинкѣ стула пальцами.

— Какая прелестная погода!—началъ Яновскій.

— Что жъ тутъ особеннаго?

— Какъ что особеннаго: тепло, птички чирикаютъ, ароматомъ пахнетъ...

— Не думаю, чтобы теперь на улицахъ ароматомъ пахло; развѣ изъ домовъ только печенымъ хлѣбомъ несетъ.

— О, злая насмѣшница! Позвольте мнѣ закурить папироску?

— Сколько хотите, только пепелъ на полъ не бросайте.

— Угодно папироску?

— Давайте.

Закурили.

— Знаете ли что: мнѣ нравится въ васъ то, что вы не похожи на нашихъ барышень.

— Чѣмъ это?

— Вы нигилистка.

— Въ первый разъ слышу такое слово. Что же это такое?

— Это... это... отступница.

— Вотъ вы и ошиблись: я вовсе не отступница.

— Вотъ вы папиросы курите.

— Я въ этомъ ничего не вижу худого. Есть папиросы—курю, нѣтъ—не надо. Моя сестра тоже куритъ папиросы и даже больше меня, такъ что отецъ иногда сердится, что у него много табаку выходитъ.

— Вотъ вы въ церковь не ходите.

— А если мнѣ некогда!

— Ну, это не отговорка... Скажите пожалуйста, отчего вы гулять не ходите?

— Некогда; да я и не охотница гулять по набережной. У насъ садъ большой, и я нахожу въ немъ больше удовольствія, чѣмъ на набережной.

— Но тамъ природа представляется намъ во всемъ ея величіи и красотѣ: рѣка, закатъ солнца, свистъ пароходовъ, движеніе, суетня пассажировъ, лѣсъ за рѣкой, соловьиное пѣнье...

— Ну, тамъ-то вы едва ли услышите соловьиное пѣнье. У васъ должно быть воображеніе очень пылкое.

— Все-таки прелесть. Да, скажите мнѣ пожалуйста: не знаете ли вы, за что это чурбанъ Трынкинъ сердится на васъ?

— На меня?!

— Да, и на Андрея Иваныча.

— Не знаю.—Щеки у нея покраснѣли.

— Нѣтъ, знаете—вонъ какъ вы зардѣлись! А я понимаю... понимаю...

— Ничего вы не понимаете.

— Онъ сдѣлалъ вамъ предложеніе—вы отказали.

— Вы отъ него это слышали?

— Да. И вы хорошо сдѣлали, что отказали. Вамъ нужно мужа молодого, образованнаго.

— Нигилиста, который дозволяетъ женѣ курить папиросы...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Здѣсь, надо вамъ сказать, живетъ отъявленное дурачье.

— А я нахожу, что здѣсь живутъ люди простые, добрые.

— Сплетники!..

— Что же имъ дѣлать-то больше?

— Читать.

Пришелъ Андрей Иванычъ. Разговоръ прекратился, потому что Андрей Иванычъ захотѣлъ ѣсть. За обѣдомъ Яновскій сталъ хвалить романъ «Отцы и дѣти». Отецъ съ дочерью молчали.

— Ну, чѣмъ же хорошъ по-вашему Базаровъ? тѣмъ что ли, что онъ надъ стариками смѣется, родителей презираетъ?—замѣтила Дарья Андреевна.

— Однако согласитесь, старые люди не понимаютъ требованій современности.

— Напримѣръ?—спросилъ Андрей Иванычъ.

— Примѣровъ много—ихъ не пересчитаешь.

— А я бы этого вашего Базарова, кабы только я былъ отецъ, розгами бы высѣкъ,—проговорилъ запальчиво Андрей Иванычъ.

Разговоръ принялъ другое направленіе.

На другой день утромъ сторожъ Николай принесъ Дарьѣ Андреевнѣ запечатанное письмо и книжку «Русскаго Вѣстника».

— Засѣдатель Яновскій велѣли отдать,—сказалъ онъ сердито.

Письмо было слѣдующаго содержанія:

«Милостивая государыня,
Дарья Андреевна!

«Извините и простите меня великодушно, что я осмѣливаюсь безъ спросу предложить вамъ книжку уважаемаго мною журнала, въ которой помѣщенъ романъ «Отцы и дѣти». Хотя вашъ дорогой родитель и называетъ его нелѣпымъ, но я думаю, что вы его прочитаете и перемѣните ваше мнѣніе о Базаровѣ. Я ему сочувствую вполнѣ, только насчетъ его идей о бракѣ не согласенъ, и если бы я могъ надѣяться на ваше великодушіе, прелестнѣйшая и очаровательнѣйшая Дарья Андреевна, то я бы поступилъ такъ, какъ поступаютъ всѣ честные люди. Позвольте мнѣ письменно и искренно высказать мои къ вамъ симпатіи: я васъ люблю; вашъ прелестный образъ и днемъ, и ночью носится надо мной. Какъ бы я былъ счастливъ, если бы я могъ услышать изъ вашихъ устъ согласіе быть моей, моей до гроба. Я бы васъ лелѣялъ, обожалъ, исполнялъ малѣйшіе ваши капризы, и вы бы были со мною счастливы.

«Къ вамъ я приду черезъ три дня, а до этого времени съ терпѣніемъ, какъ Іовъ, буду ждать вашего приговора—да или нѣтъ.

«Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію
«Остаюсь любящій васъ
«В. Я.»

«Онъ въ разговорахъ гораздо лучше, чѣмъ въ письмахъ», подумала Дарья Андреевна и задумалась. «Вотъ и второй женихъ. Этотъ молодъ, изъясняется лучше Трынкина, родители у него богатые, и онъ можетъ получить хорошую должность. Но я его ненавижу за его болтовню, хвастливость; въ немъ много приторнаго... Показать письмо отцу или нѣтъ? Если покажу—отецъ, пожалуй, обрадуется... Нѣтъ, пусть и это останется между нами, потому что я не могу выйти за него замужъ. Странно, какъ мужчины много о себѣ думаютъ: онъ навѣрное воображаетъ, что если я выйду за него замужъ, то онъ осчастливитъ меня; хотя же онъ и пишетъ о томъ, что будетъ меня лелѣять, но это уже на концѣ и какъ будто въ родѣ приманки, чтобы вынудить отъ меня согласіе».

Когда черезъ трое сутокъ пришелъ Яновскій, то, отдавая ему книгу, Дарья Андреевна сказала ему:

— Благодарю за одолженіе. Романъ написанъ увлекательно, но я не знаю, гдѣ такіе люди существуютъ.

— А насчетъ письмеца?

— Отвѣтъ готовъ—нѣтъ.

— До свиданія.

— А обѣдать?

— Благодарствуйте, мнѣ некогда.

И онъ ушелъ.

«Ну, слава Богу, отъ двухъ нахлѣбниковъ избавились», подумала Дарья Андреевна.

— Что это такое, Даша, съ нашими нахлѣбниками сдѣлалось—перестали и обѣдать у насъ, и въ карты нейдутъ играть.

— Не знаю, папаша.

— Ужь не ты ли отвадила ихъ?

Дарья Андреевна разсказала о сватовствѣ Трынкина и Яновскаго. Отецъ выслушалъ все молча и, когда она кончила, сказалъ:

— Яновскій со связями, только болтунъ. Но дѣлать нечего, найдемъ жениха и получше его, торопиться не къ чему.

Дарья Андреевна не возражала.

XI.

Дарья Андреевна постоянно была занята, какъ хозяйка въ большомъ домѣ. Положимъ, большого хозяйства у Андрея Иваныча не было, а была лошадь, за которою преимущественно смотрѣлъ Трифонъ, двѣ коровы съ теленкомъ, десятка два курицъ, гуси, утки, индѣйки и огородъ, но за всѣмъ этимъ нужно было смотрѣть, потому что кухаркѣ не жалко было чужого добра, и она постоянно ворчала, что у нея очень много дѣла, а жалованья даютъ только рубль. Вставала Дарья Андреевна въ одно время съ отцомъ и прислугой, шла во дворъ и присматривала за кухаркой, а не то и сама помогала ей; въ семь часовъ пили чай, потомъ шла уборка въ комнатахъ, шитье или вязанье. До обѣда Дарья Андреевна не любила выходить ни въ палисадникъ, ни въ садъ, потому что ей не хотѣлось встрѣчаться съ судейскими служащими; зато въ хорошую погоду она все послѣ-обѣда проводила въ саду, а иногда просиживала тамъ одна и до поздняго вечера. Ей было хорошо въ саду, но въ домѣ она чувствовала какую-то тоску; ей хотѣлось выбраться вонъ изъ отцовскаго дома, который рано или поздно будетъ для нея чужой; однообразіе этой жизни, пустота въ окружающихъ ее личностяхъ, отъ которыхъ не услышишь ни одного дѣльнаго или новаго слова, кромѣ сплетенъ и жалобъ на недостатки,—все это ее давило; ей хотѣлось свободы въ своихъ дѣйствіяхъ, хотѣлось жить одной, самостоятельно, независимо ни отъ кого. И въ то же время на нее находила иногда грусть; ей хотѣлось друга, съ которымъ бы можно говорить не о томъ, о чемъ говорятъ окружающіе ее, а о томъ, чего она не знаетъ, съ кѣмъ бы можно дѣлиться своими чувствами, горемъ и радостью. Но кто этотъ человѣкъ? гдѣ онъ? какой онъ собой—она не могла себѣ представить, и пока останавливалась только на двухъ—на Анисьѣ Осиповнѣ Зиновьевой и Васильѣ Мироновичѣ Ивановѣ. Съ обоими она выросла, обоихъ одинаково любила въ дѣтствѣ, теперь была привязана къ первой, а къ послѣднему появилось какое-то чувство, котораго и сама она не могла опредѣлить: лишь только вспомнитъ она объ немъ, представятся ей всѣ манеры и все его прошлое,—сердце забьется такъ пріятно и хорошо; но какъ только придется ей идти мимо дома Иванова, на нее находитъ не то страхъ, не то отвращеніе къ живущимъ въ этомъ домѣ, и она спокойна только тогда, когда не увидитъ въ окнѣ Василья, хотя Василій Миронычъ и не говорилъ ей никакихъ любезностей, а только почтительно кланялся и спрашивалъ, куда она идетъ. Анисью же Осиповну она съ самаго пріѣзда не видала, потому что та въ день ея пріѣзда уѣхала съ сестрой въ село Никольское, въ которомъ и жила до сихъ поръ.

Какъ бы то ни было, а изъ всѣхъ окружающихъ ее людей Дарья Андреевна считала честными и хорошими только Анисью Осиповну и Василья Миронычa. Анисья Осиповна нисколько не походила на дочь купца или чиновника, потому что отецъ хотя и не любилъ ея маленькой, но смотрѣлъ сквозь пальцы и она росла подъ вліяніемъ матери, которую Осипъ Флорычъ любилъ. Мать же ея была женщина простая, добрая, не глупая, умѣвшая ладить съ мужемъ, такъ что мужъ безъ ея совѣтовъ никогда не начиналъ ничего хорошаго; если же онъ дѣлалъ что-нибудь каверзное, такое, отъ котораго доставалось плохо, можетъ-быть, сотнямъ семействъ, то объ этомъ она узнавала со стороны, бранила мужа, который отзывался такъ: «куй желѣзо, пока горячо; съ нашимъ-то смиренствомъ ничего не наживешь, а только проживешь; а какъ постоянно будешь держать ротъ разиня, такъ и пойдешь по міру». —Да вѣдь ты посмотри, сколько семействъ оставилъ безъ куска,—возражала жена.—На то я и коммерціей занимаюсь; на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ. Чортъ же имъ велитъ олухами быть. Не даромъ пословица-то сложена: на Бога надѣйся, а самъ не плошай. Ты вспомни, кто я былъ прежде? Я былъ простой мужиченко, мѣщанишко, а теперь ворочаю капиталами и цѣлый городъ противъ меня не можетъ сдѣлать.—Сѣтованія и руготня бѣдныхъ людей часто доходили до слуха Анисьи Осиповны, и она спрашивала мать, за что бранятъ отца? Та старалась скрывать и только говорила: будь честной, милая доч-

ка, не обижай бѣдныхъ людей, и часто помогала мѣщанамъ то деньгами, то хлѣбомъ секретно отъ мужа. Поэтому дѣвочка старалась узнать со стороны и, когда узнала и увѣрилась въ справедливости городскихъ толковъ, у нея явилось отвращеніе отъ купеческой и чиновнической жизни, и сложилась своя жизнь. Она старалась находиться ближе къ бѣднымъ людямъ, выпрашивала у матери денегъ и давала ихъ тѣмъ, которые дѣйствительно были очень бѣдны. Поэтому понятно, что она съ Мариной Осиповной не могла сойтись; Марина Осиповна считала себя старшею сестрою и обращалась съ нею свысока, а Анисья Осиповна старалась держаться отъ нея подальше и не повѣряла ей своихъ чувствъ. Послѣ смерти жены Осипъ Флорычъ долго горевалъ, но потомъ женился; только вторая жена оказалась уже не похожа на прежнюю. Эта женщина робкая, болѣзненная; если она за что-нибудь принималась, то все выходило какъ-то безтолково; если же принималась за дѣло Анисья Осиповна—отцу нравилось. Кромѣ этого, Анисья Осиповна угодитъ отцу, какъ никто: она не была капризна, отвѣчала съ толкомъ, не задумываясь, была красивая, стройная, высокая дѣвушка, въ манерахъ которой ничего не было принужденнаго. И онъ думалъ: «эта, чортъ возьми, лучше Марины. Черезъ нее я могу много выиграть! Такой красавицы и въ Егорьевскѣ не сыщешь». Съ этихъ поръ отецъ предоставилъ дочери полную свободу. смотря сквозь пальцы на ея знакомство съ бѣдными людьми и на ея дружбу съ Дарьей Андреевной, съ которой она читаетъ какія-то фармазонскія книжки.

Что касается до пріятельницъ, то у нея были двѣ—Дарья Андреевна и сестра Анна, вышедшая замужъ по любви за священника села Никольскаго, Петровскаго, который тоже былъ человѣкъ неглупый и по пріѣздѣ въ село открылъ школу, въ которой вмѣстѣ съ женой и обучаетъ дѣтей обоего пола безденежно, такъ какъ село большое, торговое, и онъ получаетъ съ обывателей порядочные доходы.

Отецъ Василья Мироныча уже не одинъ десятокъ лѣтъ занимался сапожнымъ ремесломъ и также не одинъ десятокъ лѣтъ шилъ сапоги на Андрея Иваныча и дѣлалъ въ его домѣ кое-какія починки. Такимъ образомъ онъ былъ тутъ какъ свой человѣкъ; жёны Андрея Иваныча не гнушались его Натальей Семеновной, которая отлично мыла полы, и Андрей Иванычъ не находилъ ничего предосудительнаго въ томъ, что его дѣти бѣгали играть къ сапожнику. Андрей Иванычъ въ Миронѣ Миронычѣ видѣлъ человѣка положительнаго; онъ ни передъ кѣмъ спины не гнулъ, ни у кого не заискивалъ, со всѣми говорилъ одинаково грубо, зная, что не онъ нуждается въ людяхъ, а люди въ немъ Онъ былъ мужчина здоровый, никогда не хварывалъ и пилъ водку только по большимъ праздникамъ и въ гостяхъ. Дѣти его, Настасья и Василій, удались какъ разъ въ него и вдобавокъ къ этому были красавцы, но Настя умерла—остался только одинъ сынъ, потерять котораго было бы очень больно. Сынъ былъ еще положительнѣе отца: онъ умѣлъ шить сапоги крѣпче, лучше и фасонистѣе, чѣмъ отецъ, и теперь уже умѣлъ сдѣлать какой угодно столъ, стулъ, шкафъ и т. п. За другія же ремесла онъ не брался, да у него и къ сапожному чувствовалось отвращеніе. Ему хотѣлось быть столяромъ на томъ основаніи, что въ Ильинскѣ столяры были топорные, т.-е. работа у нихъ была самая простая; аристократы ихъ издѣлій не брали, а выписывали изъ губернскаго города. Изъ этого видно, что Василій Миронычъ отъ природы былъ парень неглупый. До десятилѣтняго возраста онъ былъ постоянно на воздухѣ. Лѣтомъ рѣдкій день не плавалъ по рѣкѣ, въ жаркій день купался разъ до пятнадцати; зимой воровалъ изъ прорубей морды и другіе рыболовные снаряды такъ ловко, что его или никто не видалъ, или никто не могъ поймать. Потомъ онъ мало-по-малу отсталъ отъ шалостей и сталъ ходить къ мѣщанамъ-столярамъ, высматривая ихъ искусство, и дома старался сдѣлать такъ же, какъ и они. На пятнадцатомъ году съ нимъ случилось несчастіе, которое еще болѣе развило его умъ. Разъ во время масленицы на льду рѣки затѣялась драка новослободскихъ ребятъ съ городскими. Отецъ его тогда жилъ въ новой слободѣ, потому и Василій Миронычъ считался новослободскимъ, но предводителемъ не былъ, потому что въ предводители выбирались парни шестнадцати лѣтъ. Къ городскимъ ребятамъ пристали и дѣти чиновниковъ. Вотъ въ числѣ этихъ чиновническихъ дѣтей и попадись сынъ окружного начальника—гимназистъ съ краснымъ околышемъ на воротникѣ сюртука. Во время драки этотъ баричъ вдругъ бросаетъ въ одного новослободскаго мальчика кирпичъ, кирпичъ проламываетъ мальчику високъ, мальчикъ заливается кровью, а гимназистъ бѣжитъ. Василій Миронычъ бѣжитъ за нимъ, догоняетъ, хватаетъ его и не знаетъ, что бы ему такое сдѣлать съ убійцею. Убить боязно, страшно. Онъ начинаетъ хвалить гимназиста за храбрость, обѣщается быть его другомъ; испуганный гимназистъ довѣряется ему, потому что знаетъ, что онъ сильный. Затѣмъ Василій Миронычъ приглашаетъ его прокатиться нѣсколько разъ съ катушки. Гимназистъ въ восторгѣ. Катушка была чуть не полверсты длины. Только-что разъѣхались санки, Василій Миронычъ, повернувъ одной рукой санки, выскочилъ; его отбросило въ сторону, но онъ справился и полетѣлъ на конькахъ дальше, а несчастный гимназистъ выскочилъ изъ санокъ, налетѣли санки съ тремя сѣдоками и отшибли ноги. Цѣлый мѣсяцъ мучился бѣднята, а все-таки померъ; а Василья Мироныча посадили въ острогъ, оставили по этому дѣлу въ сильномъ подозрѣніи. Съ этихъ поръ Василій Миронычъ сталъ рѣже показываться на улицѣ; онъ сталъ учиться грамотѣ по праздникамъ. Его училъ отецъ, который кромѣ своего сапожнаго ремесла, читалъ псалтыри по покойникамъ. У него была страсть къ чтенію, и онъ читалъ все, что попадалось подъ руку—и «Сенатскія Вѣдомости», и ариѳметику безъ начала и безъ конца, какой-нибудь отрывокъ изъ романа или какую-нибудь проповѣдь и пр. Книги или какіе-нибудь листики отъ газетъ онъ не рвалъ, а пряталъ въ шкафъ; если же въ книгахъ были картинки, то онъ ихъ вырывалъ и приклеивалъ на стѣну. Выучившись грамотѣ, Василій Миронычъ сталъ читать отцовскія книги, но ничего въ нихъ не понялъ, а только навострился читать бойчѣе отца и съ помощью одного уѣздника выучился и ариѳметикѣ до

дробей. Отъ уѣздника онъ узналъ кое-что изъ географіи и исторіи, прочиталъ эти книги; но этого было ему мало; ему хотѣлось найти такую книгу, въ которой бы ясно было сказано, почему мѣщане должны платить подати, а чиновники нѣтъ. Его бѣсила исторія съ гимназистомъ. Всѣ мѣщане, какъ слободскіе, такъ и городскіе, хвалили его поступокъ, потому что, если бы гимназиста прямо послѣ того, какъ онъ бросилъ камень, привести къ отцу, то ничего бы не вышло. Но Василій Миронычъ думалъ иначе: «нехорошо я сдѣлалъ, что опрокинулъ его. Вотъ онъ и померъ. Нѣтъ, надо бы ему обѣ руки обломать тамъ же, гдѣ дрались, да такъ, чтобы онъ жилъ до старости и чиновникомъ бы не могъ быть». Въ этой исторіи онъ видѣлъ явную несправедливость: «какъ, говорилъ онъ, дворянинъ можетъ убивать мѣщанина, а мѣщанинъ не смѣй ему за это острастку сдѣлать!». И вотъ онъ хотѣлъ найти рѣшеніе этого вопроса въ книгахъ, но тамъ ничего такого не было; онъ и понималъ-то еще плохо книжный языкъ, да и читать удавалось урывками. А между тѣмъ на глазахъ его свершались такія несправедливости, что ему хотѣлось вовсе не встрѣчаться съ ними, и онъ, переставши читать, сталъ учиться столярному и сапожному ремесламъ, досадуя на мѣщанъ, которые только пьяные бойки въ компаніи, а трезвые только умѣютъ говорить: «сунься-ко! попробуй! Такъ и узнаешь кузькину мать».

Отецъ на его вопросы отвѣчалъ такъ:

— Все это отъ того происходитъ, что мы въ кабалѣ состоимъ, а все-таки ѣсть хотимъ. Напримѣръ вотъ я сапоги шью купцу Николаеву. Онъ мнѣ вмѣсто задаточныхъ денегъ выдалъ два пуда муки ржаной, а вдругъ ему вздумается: не надо мнѣ сапоговъ; я долженъ ему возвратить муку или деньги по разсчету, а гдѣ я ихъ возьму?

— Проси полицію,—сказалъ сынъ.

— Станешь жаловаться или просить защиты, тебя тамъ недѣлю еще проморятъ. А тутъ нужно молчать. Какъ станешь молчать, онъ, глядишь, и позоветъ тебя печку скласть. Оно положимъ я бы меньше трехъ рублей не взялъ за все, а тутъ долгъ—ну, и сложишь. Онъ же тебѣ спасибо потомъ скажетъ, да еще и двугривенный дастъ. И напредки годится: чуть недоимки, или что—подождутъ, или онъ въ долгъ дастъ. Да я вотъ еще ни разу въ полиціи не сидѣлъ. Бывало, какъ по ночамъ орешь пьяный, нарочно подойдешь къ дому городничаго и давай его крестить. Выйдутъ:—кто это оретъ, запереть его въ подвалъ!—Руки, говорю, коротки: я есть Миронъ Мироновъ, поставщикъ сапогъ градоначальника! Посмѣются и только, или солдата дадутъ до дому довести. А ссориться станешь—никакой пользы не будетъ, кромѣ вреда.

Но сынъ этими примѣрами не довольствовался: ему напротивъ казалось, что мѣщане держатъ себя передъ начальствомъ и богатыми людьми, какъ виноватые; и только со временемъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что все это происходитъ отъ бѣдности. Когда же вышло освобожденіе крестьянъ изъ крѣпостной зависимости,—онъ узналъ, что есть какая-то сила, которая держитъ этотъ народъ въ отмѣренныхъ предѣлахъ, выходъ изъ которыхъ возможенъ только богатому и плуту. Недаромъ же въ Ильинскѣ часто слышались толки объ арестахъ какихъ-то бунтовщиковъ и экзекуціяхъ въ деревняхъ.

И Василій Миронычъ, разозлившись на книги, весь предался своему столярному ремеслу и уже теперь, на 22 году, считается въ Ильинскѣ за хорошаго мастера.

Объ отношеніяхъ его къ Дарьѣ Андреевнѣ сказать много нечего. Во взглядахъ на жизнь и сужденіяхъ они сходились; въ ней онъ видѣлъ дѣвушку простую, честную; къ ней онъ былъ неравнодушенъ, но такъ какъ она все-таки барышня, то никакъ не допускалъ мысли, что онъ можетъ жениться на ней, потому во-первыхъ, что она въ бѣдности не живала и черезъ полгода такая жизнь опротивѣетъ ей, а во-вторыхъ, еще и потому, что, по мнѣнію его, она и сама не захочетъ промѣнять свое чиновничье званіе на мѣщанское. Такъ онъ думалъ послѣ описанной встрѣчи съ нимъ на другой день по пріѣздѣ ея въ Ильинскъ.

Вмѣсто увольненія въ отпускъ, Андрей Иванычъ получилъ отъ Ипполита Аполлоновича письмо, которымъ тотъ извѣщалъ, во-первыхъ, что прежняго предсѣдателя причислили къ министерству и что на мѣсто его скоро пріѣдетъ новый, такъ что ему, Андрею Иванычу, не мѣшаетъ почаще ходить на пристань, потому что предсѣдатель поѣдетъ на пароходѣ мимо Ильинска и, чего добраго, пожалуй произведетъ внезапную ревизію; во-вторыхъ—самое главное—что съ новаго года откуповъ не будетъ, а будетъ вольная продажа вина. Андрея Иваныча первое извѣстіе нисколько не встревожило, потому что онъ былъ человѣкъ исправный; зато его сильно смутило второе извѣстіе. Какъ же это такъ, откуповъ не будетъ? Положимъ, объ этомъ предметѣ давно толковали, да вѣдь мало ли что толкуютъ праздные люди. Братъ пишетъ, что въ палатѣ уже получены какія-то положенія или уставы, что даже и совѣтника питейнаго отдѣленія не будетъ. Только онъ не написалъ, — останутся или нѣтъ винные пристава. Пожалуй, что и нѣтъ; куда же онъ поступитъ дослуживать послѣдній годъ до пенсіона?

Онъ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ Дарью Андреевну и далъ ей прочитать письмо брата.

— Что—хорошо?—спросилъ онъ дочь, когда она прочитала письмо.

— Да вѣдь объ этомъ давно уже толковали. Вонъ тоже о волѣ сколько времени толковали, говорили, что невозможно сдѣлать крестьянъ свободными. И все-таки крестьянъ уволили. Также и откуповъ не будетъ, и должно быть будетъ хорошо, если всякій будетъ торговать свободно.

— А меня вонъ! Ты понимаешь ли, что мнѣ не дадутъ полной пенсіи.

— За штатомъ оставятъ.

— Ну, положимъ. А ужъ я тѣхъ доходовъ не получу, а теперь я съ двухъ откупщиковъ получаю жалованье.

— А вы откройте сами лавку.

— И ты будешь сидѣлкой!—покорно благодарю.

И Андрей Иванычъ, одѣвшись наскоро, ушелъ къ казначею сообщить ему новости.

Черезъ часъ пришелъ въ кухню Василій Миронычъ и, поклонившись Дарьѣ Андреевнѣ, спросилъ, дома ли ея отецъ, что онъ пришелъ къ нему за долгомъ; та сказала, что его нѣтъ.

— Тогда прощайте.

Онъ вышелъ; за нимъ вышла Дарья Андреевна.

— Куда же вы, Василій Миронычъ?

— Одна дорога—домой. А вы вашему родителю скажите, что, молъ, Иванову деньги очень нужны.

— Какой вы нынче строгій...

— Небось будешь вѣжливъ: ужъ больше года Андрей-то Иванычъ долженъ отцу,—пора бы и честь знать. Дружба-дружбой, а за работу денежки подай. Правъ я по-вашему?

— Это такъ. Да вы зайдите наверхъ.

— Зачѣмъ?

— Подождите—онъ скоро придетъ.

— Ну, бѣда еще не такъ велика, чтобы намъ приставать къ нему.

— Да вы хоть чаю напейтесь.

— Это за какія благодѣянія?

— Какой вы, право, нынче странный стали. Вѣдь ваша работа не уйдетъ еще.

— Я не очень долюбливаю это пойло, а только скажу, что если бы вы, Дарья Андреевна, были хозяйка въ домѣ, я бы выпилъ и посидѣлъ. А теперь не могу. А вотъ вы отчего къ намъ не зайдете?

— Потому же, почему и вы не заходите.

— Я мужикъ, мнѣ не слѣдуетъ бывать тамъ, гдѣ нашего брата не любятъ. Еще что-нибудь подумаютъ. А вотъ вы принесите-ка деньги, такъ я вамъ покажу книжонки. Нынче я былъ въ Егорьевскѣ, такъ цѣлыхъ двадцать штукъ купилъ у одного пьянчужки за полтинникъ.

Онъ ушелъ.

Дарья Андреевна вполнѣ согласилась съ нимъ, что ему не слѣдовало дожидаться отца въ комнатахъ. Оба они люди молодые, знаютъ другъ друга давно, въ комнатахъ никого нѣтъ, — навѣрное пойдетъ сплетня на весь городъ; но ей не понравилась въ немъ грубость, которую прежде она рѣдко замѣчала. Однако приглашеніе его ей нравилось не потому, что она опять увидитъ его и будетъ говорить съ нимъ, а потому, что онъ хотѣлъ дать ей какихъ-то книгъ. Она уже давно ничего не читала, а съ какимъ-бы она удовольствіемъ и наслажденіемъ стала читать, забившись въ садъ послѣ обѣда.

Къ великой ея радости, отецъ вернулся домой во второмъ часу—почти что трезвый. Онъ выигралъ десять рублей. Когда Дарья Андреевна сказала ему, что къ нимъ приходилъ молодой Ивановъ за долгомъ, онъ тотчасъ же отдалъ ей деньги — пять рублей—и велѣлъ отнести ихъ самой завтра же.

Въ домѣ Мирона Мироныча было двѣ половины: въ одной жилъ самъ Миронъ Миронычъ съ женой, въ другой, такой же величины и такого же размѣра, устроенной черезъ сѣни, съ двумя окнами во дворъ, жилъ Василій Миронычъ. Прежде тутъ былъ холодникъ, т. е. лѣтомъ спали семейные, зимою ставили молоко, или чесали куделю, ткали холстъ и устраивали на святкахъ вечеринки съ танцами и пѣснями подъ игру на гитарѣ или гармоникѣ. Теперь эта комната имѣла видъ столярной: въ ней пахло краской и деревомъ, и бросались въ глаза доски и дощечки, разложенныя въ безпорядкѣ. Въ настоящее время въ комнатѣ Василія Мироныча, недалеко отъ окна, стоялъ шкафъ, уже готовый совсѣмъ, только безъ стеколъ; посреди комнаты находился недодѣланный ломберный столъ, на которомъ лежалъ неокрашенный треугольникъ и мѣдный циркуль, а самъ Василій Миронычъ, стоя рядомъ съ этимъ шкафомъ лицомъ къ стѣнѣ, стругалъ небольшую дощечку. По стѣнамъ были развѣшаны пилы и разные инструменты, фуражка и черный кафтанъ съ голубою опояскою; около этого кафтана стояла простая кровать съ войлокомъ и подушкой. По случаю жаркой погоды одно окно было открыто. Самъ Василій Миронычъ былъ въ ситцевой сѣраго цвѣта рубашкѣ, въ холщевыхъ штанахъ, на немъ былъ передникъ, на босыя ноги надѣты калоши, а на лбу ремешокъ.

Когда Дарья Андреевна вошла въ эту комнату, Василій Миронычъ, занимаясь струганьемъ, не слыхалъ ея прихода,—да и дверь была отворена. Дарья Андреевна подошла къ столу,—не видалъ ее хозяинъ. Пришлось окликнуть его.

— А-а!—сказалъ онъ, выпрямляясь. Потъ такъ покрывалъ его лобъ и щеки, что когда онъ обтеръ ихъ рукавомъ рубашки, то рукавъ почернѣлъ.—У меня и сѣсть-то не на что. Вонъ на кровать сядьте. —И онъ сталъ убирать доски.

— Мнѣ некогда. Я вамъ принесла деньги.

— Скоро же... Ужъ вы не наговорили ли чего отцу.

Въ это время на дворѣ поднялся такой вѣтеръ, что закружились щепки, забѣгали съ крикомъ курицы, и сильно зашатало ставни и обѣ половинки окна. На крыльцѣ вѣтеръ захлопнулъ и отперъ снова дверь.

— Ахъ, я пойду! Я когда шла сюда, такъ ужъ поднимался вѣтеръ и солнышко свѣтило тускло.

— А вы грозы боитесь.

— Нѣтъ, не боюсь. Только... надо домой. Вотъ вамъ деньги.

— А книги возьмете?

— Ахъ, пожалуйста. Только поскорѣе.

Вѣтеръ, казалось, такъ и рвалъ все, что ни попадало навстрѣчу. Вонъ откуда-то во дворъ упала какая-то доска; съ сарайчика Мирона Мироныча сорвало полкрыши и разбросало прогнившія доски по этому и сосѣднему двору; поднялся шумъ, трескъ, гулъ, раздался раскатъ грома.

— Ай, батюшки! Я побѣгу!

— Куда же вы побѣжите? Вы не успѣете добѣжать, какъ васъ всеё смочитъ. Смотрите, какія крупныя дождевины падаютъ.

Опять раскатъ грома; гроза приближалась быстро; становилось темнѣе и темнѣе; дождевины стали падать чаще и чаще.

— Нѣтъ, я побѣгу.

Она вышла во дворъ, потомъ отворила калитку. Вѣтеръ такъ и рвалъ; стало темно отъ пыли и на-

висшихъ черныхъ тучъ. Блеснула молнія, такая ослѣпительная, что Дарью Андреевну отшатнуло въ сторону и она пошла назадъ къ Василію Миронычу.

— Нѣтъ, ужъ я пережду лучше,—сказала она, стараясь преодолѣть волненіе

— Ну, и хорошо. Садитесь на кровать, — тутъ не опасно. Окна и вьюшки въ трубѣ закрыты.

— И какъ скоро! Я вышла изъ дому, ничего не было, только дулъ вѣтеръ и солнце было красное.

Блеснула опять молнія. Дарья Андреевна и Василій Миронычъ перекрестились. Черезъ пять секундъ грянулъ громъ—точно изъ пушки выпалилъ надъ самой головой и нѣсколько секундъ длился раскатъ его надъ потолкомъ этой комнаты.

— А что? и вы трусите?—сказала Дарья Андреевна Василію Миронычу.

— Я не боюсь, только это какъ-то само собой сдѣлалось, что я перекрестился.

— И я тоже. Отчего это?

Опять молнія и раскатъ грома. Пошелъ градъ. Стало темно. Молодые люди сѣли на кровать. Молнія то и дѣло освѣщала ихъ. Они нѣсколько минутъ молчали, точно имъ было страшно этого ослѣпительнаго блеска, почти черезъ три-пять секундъ освѣщающаго комнату, сильныхъ громовыхъ раскатовъ, шума отъ града, барабанящаго въ стекла, свиста вѣтра, пошатывающаго стѣны дома.

— Страшно!—проговорила Дарья Андреевна.

— А вы еще хотѣли идти—васъ бы убило.

— Оно бы и лучше!

— Глупости говорите.

— Въ самомъ дѣлѣ. Для чего я живу? — людямъ я мѣшаю и пользы никому не приношу.

Вы одна, что ли? Васъ много такихъ. Вотъ будете чиновницей — дѣтей будете рожать. Развѣ это не польза?

— Я не пойду замужъ.

— Такъ вамъ я и повѣрю. Подвернется какой-нибудь сахарный франтикъ, влюбитесь.

Нѣтъ. Я не люблю никакихъ франтиковъ.

— Это еще неизвѣстно... Однако какъ долго эта гроза не проходитъ, и все еще темно. Да, Дарья Андреевна, — началъ онъ со вздохомъ: — придетъ пора, умаслитъ васъ какой-нибудь франтикъ и сдѣлаетесь вы павой. Тогда вы объ нашемъ братѣ забудете. А вѣдь сколько прежде было говорено: не люблю, молъ, я этихъ негодяевъ, они бѣдныхъ людей обижаютъ...

Блеснула молнія; Василій Миронычъ замѣтилъ, что Дарья Андреевна плачетъ. Ему сдѣлалось больно. Онъ замолчалъ...

Опять блеснула молнія; Дарья Андреевна увидала, что Василій Миронычъ сидѣлъ уперши голову на обѣ ладони.

— Отчего это въ грозу невесело?—вдругъ спросила Дарья Андреевна Василія Мироныча.

— Это еще ничего, что въ грозу; а то бываетъ часто, что и во снѣ грезятся ужасы, и встанешь, кажется, свѣжій, а такъ бы и не глядѣлъ на свѣтъ. У всякаго есть свое горе. У меня напримѣръ горе, отчего я не выучился книжкамъ, чтобы хотя лѣкаремъ сдѣлаться. А тутъ еще за работу денегъ не платятъ. Зло беретъ, когда идешь мимо большого дома: такъ и пахнетъ щами да жареной говядиной. Домой придешь, хоть не ѣшь горошницу. Вамъ что! Положимъ у васъ мачеха злая, такъ это не всегда будетъ. Вы дѣвушка красивая!

— Василій Миронычъ, зачѣмъ вы обижаете меня? Если бы я дѣйствительно хотѣла быть чиновницей или попадьей, я давно бы уже была ими; но я не хочу, потому что я все та же, какая была прежде.

— А что же потомъ будетъ?

— Я хочу работать, хочу жить такъ же, какъ вы, своей работой.

— Я тутъ что-то не понимаю. Какъ же вы, барышня, при живыхъ родителяхъ будете заниматься работой? И какой это такой работой?

— А вы знаете Марью Васильевну, повивальную бабку?

— Ну. Ужъ не хотите ли вы въ бабки?—И онъ захохоталъ.

Стало свѣтлѣе, гроза унялась.

— Тутъ ничего нѣтъ худого. Знаете что? я васъ давно знаю, мы были прежде друзьями, и я теперь считаю васъ за друга и, какъ другу, скажу, что мнѣ невыносима эта жизнь; мнѣ не нравятся эти люди, хотя они и простые. Мнѣ хочется жить такъ, чтобы у меня было все свое—и хлѣбъ, и одежда, и квартира, такъ чтобы никто не смѣлъ упрекнуть меня въ томъ, что я живу на чужой счетъ.

— Ну, это трудно. Ужъ если мы, мужчины, бьемся, какъ рыба объ ледъ, то вамъ-то едва ли придется жить такъ, какъ вы хотите. Все это однѣ мечты.

— Я знаю многихъ женщинъ, которыя работаютъ и живутъ безъ помощи мужчинъ. Возьмите напримѣръ Гладырину, Лакушеву.

— Онѣ мѣщанки, а вы барышня.

— Въ Егорьевскѣ я знаю многихъ барышень. Я хочу попробовать. И какъ только будетъ возможность вырваться мнѣ отсюда, я уѣду въ Егорьевскъ, пойду въ швейный магазинъ. Вы знаете мой характеръ: ужъ если я что задумала, оно такъ и будетъ. А родни я своей не боюсь.

Лицо ея горѣло, голосъ ея возвышался; Василій Миронычъ серьезно смотрѣлъ на нее. Когда она замолчала, онъ взялъ ее за руку и крѣпко сжалъ.

— Попробуй! Если только, Даша, это правда, то ты лучше меня. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я живу здѣсь? Говорятъ, что я хорошій столяръ, а стань я въ Егорьевскѣ работать—осмѣютъ. Здѣсь заказываютъ немногіе, да и то кое-какъ выручишь за лѣсъ, клей и краску... Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ! Поѣду и я въ Егорьевскъ.

— А отецъ?

— Отецъ держать не станетъ.

— Однако дождь, кажется, перестаетъ. Гдѣ у тебя книги?

— Книги-то?—и онъ досталъ изъ-подъ кровати цѣлый мѣшокъ книгъ.

— Вчера,—началъ онъ:—какъ я пришелъ отъ тебя домой, злость на меня напала, и самъ не знаю почему. Сталъ клинъ тесать—испортилъ, бросилъ все; пошелъ къ отцу, тотъ сбирается въ деревню, а потомъ и уѣхалъ съ матерью за Волгу, въ Ива-

новку—тамъ сегодня именины. Ну, вотъ сталъ перерывать книги. Попалась какая-то медицинская, старая такая. Ну, посмотрѣлъ, смотрю—«Средство отъ лихорадки»,—думаю, пригодится; другая тоже медицинская, третья безъ начала и конца, четвертая на собачьемъ языкѣ (иностранная), а одна даже разозлила меня. Да вотъ она: «Труды вольно-экономическаго общества». Посмотрѣлъ на одно мѣсто, горничныхъ ругаютъ мерзавками, а мужиковъ—это нашего брата—хамами; что насъ-де надо драть, бить и, ради экономіи, денегъ не платить намъ... Я чуть съ ума не сошелъ и хотѣлъ швырнуть мѣшокъ, да попалась цѣльная книжка *соч. Кокорева.* Сталъ читать—понравилась. Славно и вѣрно напечатана. Я хоть въ Москвѣ и не бывалъ, а какъ видно и тамъ не лучше здѣшняго жизнь-то.

— Ты мнѣ дай эту.

— Ладно. Потомъ попалась сказка «Мужичокъ съ ноготокъ, борода съ локотокъ». Ужъ больно сладко. Я сѣлъ на полъ, да такъ чуть до половины и не прочиталъ.

Дарья Андревна забрала четыре книги.

— Ты скоро поѣдешь въ Егорьевскъ? — спросилъ ее Василій Миронычъ.

— Какъ папаша отпуститъ.

— Когда ты поѣдешь, и я поѣду.

— Зачѣмъ это вмѣстѣ?

— Ну, я послѣ пріѣду. Можетъ ты не хочешь, чтобъ я тамъ жилъ?

— Нѣтъ... зачѣмъ...

— Знаешь, Даша, иной разъ такая на меня тоска находитъ—просто убѣжалъ бы. Думаешь, думаешь... оказывается, что... такъ бы вотъ и женился; а тутъ, какъ на зло, товарищъ-сверстникъ придетъ да и похвалится своею женою, что она у него баба славная и прочее.

— Что же—женись.

— Денегъ нѣтъ А жену съ деньгами я не хочу брать. А что, пошла бы ты за меня замужъ, если бы я имѣлъ хорошій заработокъ?

— Не знаю. Можетъ-быть, и пошла бы, если бы имѣла свой кусокъ хлѣба. Однако до свиданія.

Они распрощались пожатіемъ рукъ.

Гроза оставила послѣ себя порядочные слѣды; во многихъ окнахъ стекла разбиты, въ садахъ деревья надломлены; вонъ поперекъ дороги лежатъ два сухихъ дерева, вырванныхъ почти съ корнемъ на улицѣ песокъ и глину смыло въ одну сторону, въ которой образовалась глубокая канава, полная воды, и самая земля на улицѣ приняла видъ гладкаго тѣста съ небольшими полосками, а тамъ, гдѣ полянка, на травѣ нѣжились красные червяки, которые, при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, очень быстро уползали въ просверленныя ими дыры. Теперь было свѣжо, пахло хорошо, дышалось лучше, но тучи еще плохо очищали небо. Въ домѣ Яковлева тоже много было разбито стеколъ, а вѣтромъ сорвало почти всю лицевую сторону крыши, доски отъ которой валялись по площади; деревьевъ тоже много было поломано; заплотъ въ двухъ мѣстахъ упалъ. Самъ Андрей Иванычъ ходилъ по саду и ругалъ грозу на чемъ свѣтъ стоитъ; Трифонъ помогалъ ему поднимать деревья.

— Ну, слава Богу. А я думалъ ужъ, Богъ знаетъ что,—проговорилъ Андрей Иванычъ, увидя дочь.

— Ивановъ не отпустилъ меня.

— Ну, ничего. Вели ставить самоваръ, да приготовь водки: я пошелъ въ калошахъ да промочилъ ноги, такъ и ломитъ.

— Охота вамъ съ садомъ возиться. Надо доски собрать, что съ крыши сорвало, а то растащутъ,—говорилъ Трифонъ.

— И то правда. Народъ—подлецъ, живо расхититъ. Ну, и гроза! Давно ужъ такой не бывало.

Только-что они вошли во дворъ, къ воротамъ подъѣхала пролетка. Въ ней сидѣли Зиновьевъ съ Анисьей Осиповной.

Пріятельницы расцѣловались, а отцы ругали грозу. У Зиновьева домъ остался цѣлъ и невредимъ, только на рѣкѣ у него расшатало два плота съ бревнами, которыя и уплыли теперь внизъ, а рабочіе неизвѣстно куда разбѣжались.

Пріятельницы ушли въ отдѣльную комнату и наскоро передали другъ другу свою жизнь за все время, пока онѣ не видались.

— Ну что, мачеха — думаетъ сюда ѣхать?—спросила Дарья Андреевна Анисью Осиповну.

— Она на тебя ужъ пѣла, пѣла,—даже тошно было слушать. Она было и отцу моему говорила, чтобы онъ не дозволялъ мнѣ видѣться съ тобой, но онъ ничего не отвѣчалъ. И вотъ видишь, я даже съ нимъ пріѣхала.

— Ну что, ты ребятъ учила въ Никольскомъ?

— Не только учила, даже старухъ лѣчила.

— Какъ такъ?

— А очень просто. Одна дѣвчонка жаловалась мнѣ, что у ней горло болитъ, я велѣла ей прійти къ сестрѣ, дала меду и велѣла полоскать горло. Ну, горло и перестало болѣть. Одинъ парень порѣзалъ палецъ—я приложила алоэ, ну и затянуло рану. Вотъ бабы и стали ходить ко мнѣ. «Матушка, барышня, вылѣчи, у меня животъ болитъ»; ну, я скажу отцу Николаю, — а онъ учился медицинѣ немножко, и дастъ бабѣ порошокъ или касторового масла. Только теперь эта школа ухнула.

— Зачѣмъ?

— Тутъ цѣлая исторія, моя милая. Школу Петропавловскій завелъ чрезъ полгода, какъ пріѣхалъ въ село. До него тамъ ребятъ учили дьяконъ и пономарь. Стало быть, Николай Ѳедорычъ и отбилъ у нихъ доходъ; вѣдь онъ училъ даромъ, по своей охотѣ. Это, я тебѣ скажу, человѣкъ рѣдкій изъ духовнаго званія. Ну, крестьяне сначала не довѣрялись ему; онъ былъ молодъ, бражничать или пьянствовать съ кѣмъ бы то ни было онъ и теперь не любитъ, такъ что крестьяне долго не могли къ нему привыкнуть: «какой онъ удивительный, ровно и не попъ совсѣмъ!»—говорили они. Но, какъ и всегда бываетъ, потомъ они привыкли къ нему, да и онъ сталъ съ ними сближаться почти ежедневно, такъ какъ ему дали пашню и покосъ. Узналъ онъ, что крестьянъ землей обрѣзали; онъ пошелъ къ посреднику, но правды не добился: посредникъ сказалъ, что крестьяне сами изъявили на то согласіе. Вотъ онъ и отдалъ свои пашни крестьянамъ, но какъ узналъ объ этомъ помѣщикъ,

предложилъ ему другой клочокъ земли, а тотъ взялъ себѣ, на томъ основаніи, что та земля въ крестьянскій надѣлъ не вошла. Начались стычки съ помѣщикомъ. Сталъ онъ просить помѣщеніе для школы—не даютъ: пустыхъ домовъ нѣтъ. Ну, онъ сталъ просить разрѣшенія отъ начальства съ тѣмъ, что школа можетъ помѣщаться въ его домѣ. А ему дали полукаменный домъ. Когда ему разрѣшили завести школу, онъ поселился въ верхнемъ этажѣ, а внизу, въ большой комнатѣ, устроилъ лавки, столы—и школа открылась. Ребятъ и дѣвокъ стало ходить много; училъ онъ самъ закону Божію, ариѳметикѣ, исторіи, разсказывалъ, отчего земля вертится, свѣча горитъ, отчего громъ, и такъ занималъ ребятъ, что тѣ всѣ любили его, а Анюта учило писать, читать и особенно дѣвочекъ шитью. Пригласилъ-было онъ дьякона, только ребята стали жаловаться, что тотъ приходитъ пьяный, дерется и ругается. Николай Ѳедорычъ и отстранилъ его. Дьяконъ разозлился, пожаловался помѣщику, насказалъ, что Петропавловскій одинъ со своею женою забираетъ съ крестьянъ деньги и учитъ фармазонству. Помѣщикъ пріѣхалъ самъ, послушалъ и ничего не нашелъ худого, только замѣтилъ, что крестьянскимъ мальчикамъ полезно только знать законъ Божій, знаніе же, почему рыбы могутъ жить только въ водѣ, — для нихъ совсѣмъ не нужно и преждевременно. Конечно Николай Ѳедорычъ его не послушался и помѣщикъ въ школу не заглядывалъ до нынѣшней весны. На зиму онъ уѣхалъ въ Петербургъ, а въ его отсутствіе Николай Ѳедорычъ придумалъ для крестьянъ развлеченіе. Объявилъ онъ имъ, что по воскресеньямъ подъ вечеръ школа открыта для всѣхъ, какъ для дѣтей, такъ и для родителей и ихъ родни, и вообще для всѣхъ желающихъ обоего пола. Все шло отлично. Только пріѣхалъ помѣщикъ въ воскресенье, послѣ крестьянскаго обѣда, то-есть часу во второмъ, а его встрѣтило волостное начальство, крестьяне же сбирались въ школу. Утромъ Николай Ѳедорычъ пошелъ поздравлять помѣщика съ пріѣздомъ, а тотъ высказалъ ему свое удивленіе, что у него, священника, въ домѣ образовалось что-то въ родѣ клуба. Однако все это объяснилось кое-какъ, и помѣщикъ даже позвалъ Николая Ѳедорыча съ его женой и меня на обѣдъ, во время котораго очень ужъ увивался за мною его сынъ, правовѣдъ. На третій день послѣ этого правовѣдъ пришелъ въ школу; въ школѣ я учила ребятъ писать. Онъ началъ гримасничать, мѣшать мнѣ, и какъ только я сяду къ столу, чтобы показывать дѣвочкамъ какъ шить, онъ начинаетъ говорить: какая вы красавица, а возитесь съ грязными ребятишками.

— Красивъ онъ?

— Рыжій, карявый, глаза тусклые, какъ у слѣпой собаки, и въ очкахъ. Я конечно сказала ему, что онъ глупъ. А онъ мнѣ и говоритъ: отъ васъ зависитъ многое.—Что такое? спрашиваю.—А то, говоритъ, что г. Петропавловскій революціонеръ.—Я не помню, что отвѣчала ему, но ушла и разсказала все Николаю Ѳедорычу. Тотъ порѣшилъ закрыть воскресныя собранія; но каково же вышло наше удивленіе, когда въ пятницу къ намъ пріѣхалъ мировой посредникъ и сказалъ Николаю Ѳедорычу, чтобы онъ для своей безопасности закрылъ школу. Николай Ѳедорычъ не послушался; тогда пріѣхалъ исправникъ и формально приказалъ Николаю Ѳедорычу закрыть школу и вынести изъ нея столы и лавки, такъ что теперь внизу, гдѣ была школа, живутъ двое офицеровъ.

— А мы ничего не слыхали.

— Это еще ничего; Николай Ѳедорычъ узналъ, что помѣщикъ донесъ на него архіерею, а исправникъ—губернатору. Вѣроятно, его переведутъ въ какую-нибудь трущобу.

Пришелъ Осипъ Флорычъ.

— Пора и домой.

— Папаша, успѣемъ еще; я такъ рада, что Даша пріѣхала.

— Успѣете еще наговориться до свадьбы. Одѣвайся,—и онъ ушелъ.

— Ты развѣ выходишь замужъ?

— Какой-то егорьевскій купецъ за меня сватается. Я его не видала.

— Пойдешь?

— Я еще не сошла съ ума. Я лучше соглашусь мерзнуть въ лавкѣ, чѣмъ выйти замужъ за того, кого не знаю. Я уже составила себѣ планъ: когда мнѣ исполнится совершеннолѣтіе, то попрошу отца выдѣлить мнѣ причитающуюся часть денегъ и съ этими деньгами поѣду въ Петербургъ. Авось тамъ и выучусь чему-нибудь. А здѣсь ничему не выучишься и не у кого; безъ диплома въ учительницы не примутъ, а шить я лѣнива.

— Пора!—крикнулъ Зиновьевъ.

Пріятельницы разстались.

— Каковъ, папаша, нашъ исправникъ!—сказала отцу Дарья Андреевна за ужиномъ.

— А что?

Дарья Андреевна разсказала ему подвигъ въ Никольскомъ.

— Ну, матушка, это дѣло не наше. Илья Ивановичъ дѣйствовалъ не съ бухты-барахты, а по приказу. Если бы у него было побольше такихъ дѣлъ, онъ бы ужъ сколько орденовъ нахваталъ.

XII.

Приближалась ильинская ярмарка; до Ильина дня оставалась всего недѣля.

Городъ понемногу оживлялся. На площади, передъ Богородицкой церковью, строили нѣсколько балагановъ съ прилавками посрединѣ и съ полками по стѣнамъ. Съ ранняго утра терлись тутъ ребята: одни изъ любопытства узнать, чей это строится балаганъ; другіе отъ нечего дѣлать, чтобы поострить надъ плотниками-мѣщанами и солдатами; третьи, и преимущественно дѣвицы, держа въ рукахъ дырявые мѣшки или грязныя тряпицы, выжидали случая, какъ бы имъ ловчѣе стащить какой-нибудь обрубокъ, маленькій чурбанъ и нѣсколько большихъ щепъ. Плотники, разумѣется, ругались, колотили надоѣдливыхъ мальчугановъ, гнали прочь дѣвочекъ, потому что они сами хотѣли воспользоваться чурбанами и коротенькими дощечками—остатками, которые они намѣревались употребить на покрышки къ горшкамъ и т. п.

Работали они не спѣша, да и торопиться не стоило, во-первыхъ потому, что до Ильина дня еще нѣсколько дней, а во-вторыхъ, работаютъ они артелью, по подряду городского головы Зиновьева. Надо замѣтить, что плотники мало заняты въ городѣ работой и добывающіе себѣ пропитаніе тасканіемъ клади съ судовъ и на суда лѣтомъ, а зимой возкою воды съ рѣки и разноскою ее по домамъ, самовольною порубкою лѣса и продажею дровъ горожанамъ и потомъ безцѣльнымъ шатаніемъ по рынку въ субботы и изъ одного дома въ другой,—эти плотники ильинской ярмаркѣ были рады, какъ рады испостившіеся достаточные православные христіане свѣтлому Христову воскресенію, потому что каждый изъ нихъ получалъ за работу среднимъ числомъ за одну недѣлю три рубля.

У Андрея Иваныча въ огородѣ и въ саду поспѣло много добра и онъ продалъ все, что было похуже, очень выгодно, все же хорошее оставилъ у себя, и ему бы, кажется, нужно было быть веселымъ; прежде онъ то и дѣло хвастался, что зашибилъ деньгу даромъ, т.-е. надувалъ торгашей, но теперь онъ былъ угрюмъ, молчаливъ, лицо его пожелтѣло и похудѣло; онъ мало спалъ, пилъ плохо. Дарья Андреевна приписывала это, во-первыхъ, предстоящей ревизіи, и во-вторыхъ, отсутствію Марины Осиповны. Какъ бы то ни было, а Андрей Иванычъ съ каждымъ днемъ становился болѣе и болѣе страннымъ человѣкомъ. Вставалъ онъ попрежнему рано, бродилъ по саду, только бродилъ безъ всякой цѣли; случалось, онъ бралъ удочку, сидѣлъ съ нею у своего пруда, закидывалъ лесу, но рыба точно вся передохла или не понимала того, что хозяинъ хочетъ ее изловить, и даже ни одна не задѣвала за лесу; пробовалъ онъ и съ пароходной пристани ловить рыбу, но и тамъ не видалъ клеву. Теперь ужъ онъ не молился съ прежнею торжественностью въ залѣ не потому, чтобы ему неловко было позвать для этого Дарью Андреевну, а ему какъ-будто стыдно было передъ собой разыгрывать роль патріарха. Иногда, по утрамъ, онъ сидѣлъ на какой-нибудь скамейкѣ, устроенной на набережной, въ коричневой шинели, въ большой фуражкѣ съ огромнымъ козырькомъ, упершись на толстую дубовую палку. Своею фигурою онъ походилъ на стараго пастора, обдумывающаго свою будущую проповѣдь; но если бы кто взглянулъ въ это время на его лицо, тотъ бы сказалъ, что это должно быть человѣкъ больной: лицо его имѣло до того болѣзненный видъ, что, казалось, ему уже немного дней осталось жить; глаза его или слипались, или апатично уставлялись на одинъ предметъ; что же касается до внутренняго состоянія Андрея Иваныча, то онъ чувствовалъ какое-то изнеможеніе, боль въ головѣ, щемленіе въ сердцѣ; его ничто не развеселяло, напротивъ, ему было невыносимо скучно, онъ не зналъ, куда ему дѣваться, и въ будущемъ видѣлъ какую-то пустоту. Наконецъ ему и тутъ противно сидѣть, онъ уходитъ домой и, незамѣтно для Дарьи Андреевны, достаетъ изъ погреба бутылку наливки, выпиваетъ ее до чаю, придетъ въ столовую, но едва-едва выпьетъ свою большую чашку чая, и неохотно отвѣчаетъ на слова Дарьи Андреевны. Наконецъ дошло до того, что и за чаемъ молчали оба—отецъ и дочь. Дарья Андреевна замѣтила, что отцу не нравится, когда она спрашиваетъ о его здоровьѣ и отчего онъ такой скучный; онъ отвѣчалъ надорваннымъ голосомъ, съ злымъ взглядомъ и уходилъ прочь, не допивъ чая или не дотронувшись даже до него. Замѣтила она также, что ни городскія новости, ни смѣшные разсказы не только не развлекали его, но тоже или злили, или наводили еще болѣе грусти. Утромъ и днемъ еще ничего; тогда онъ, по крайней мѣрѣ, занимался дѣломъ, разговаривалъ съ судейскими служащими; зато вечеромъ онъ дѣлался или еще угрюмѣе, или что-то ворчалъ, ходя по комнатамъ, и потомъ, допивши бутылку крѣпкой наливки, долго лежалъ въ своемъ кабинетѣ на диванѣ, уставивши глаза въ потолокъ и не обращая вниманія на огромный нагаръ сальной свѣчки.

Дарья Андреевна никакъ не могла понять, что̀ такое сдѣлалось съ ея отцомъ. Состояніе его ее мучило; она похудѣла, на сердцѣ у нея было тяжело, мысли шли невеселыя; работа клеилась плохо и она частенько поплакивала. А работа у нея была: она попросила жену Иванова, Наталью Семеновну, достать ей какое-нибудь платье шить. Хотѣла Дарья Андреевна пригласить лѣкаря, но лѣкарь былъ пьяница, и безъ согласія отца приглашать было неловко. Посовѣтоваться ей было не съ кѣмъ. Сказала она протопопу Третьякову, тотъ навѣдался къ Андрею Иванычу и навелъ на него еще больше хандры; стала она чаще приглашать Анисью Осиповну, отецъ не могъ выносить ея смѣха и громкаго разговора и уходилъ изъ комнаты въ садъ. Сказала она и Василію Миронычу, что съ отцомъ ея что-то неладное дѣлается; тотъ улыбнулся и сказалъ:

— Съ жиру бѣсится!

Такъ что Дарья Андреевна за эти слова не взлюбила молодого Иванова.

Въ городѣ тоже замѣчали, что съ виннымъ приставомъ что-то неладно, и приписывали это одни—уничтоженію откуповъ съ будущаго года и оставленію его за штатомъ, а другіе—тому, что его бросила жена, утащивъ у него казенныя деньги, которыя онъ не знаетъ какимъ манеромъ пополнить.

Но что̀ бы ни говорили люди, никто не зналъ, что дѣлается съ Андреемъ Иванычемъ, потому что онъ никому не высказывалъ ни слова и сосредоточился самъ въ себѣ.

До отъѣзда жены его безпокоило отношеніе дочери къ Маринѣ Осиповнѣ; потомъ онъ встревожился, когда жена уѣхала изъ города; далѣе, когда Дарья Андреевна сказала ему, что два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживаются,—онъ рѣшилъ, что дѣйствительно имъ обѣимъ вмѣстѣ жить неловко. Но къ нему ходили гости, ему было весело, хотя и тогда мысль, что онъ живетъ безъ хозяйки, съ которою было бы вполнѣ весело, омрачала его. И вотъ гости перестали ходить; Трынкинъ и Яновскій перестали ему кланяться; судья, исправникъ и казначей тоже косятся на него и вотъ ужъ три недѣли не принимаютъ къ себѣ; остальные горожане смотрятъ на него двусмысленно. Сталъ онъ доискиваться причины всему этому, и причину эту нашелъ. Это была его дочь, Дарья. Въ самомъ дѣлѣ, когда она была въ монастырѣ, все

шло хорошо; бывали съ женой непріятности, но пустяшныя. Какъ только пріѣхала она—все вверхъ дномъ повернулось. Теперь, по его мнѣнію, Дарья была кругомъ виновата. Напримѣръ, зачѣмъ она не извѣстила его изъ Егорьевска подробнымъ письмомъ о томъ, что она хочетъ ѣхать къ нимъ, и не написала вѣжливаго письма Маринѣ Осиповнѣ, если она знала, что та ея не любитъ? Ему казалось, что Дарья Андреевна съ самаго пріѣзда къ нему держала себя какъ выскочка какая-нибудь; она даже ему, отцу, объявила, что пріѣхала сюда затѣмъ, чтобы онъ благословилъ ее на швейную, по его мнѣнію, постыдную работу; въ ней онъ мало-по-малу сталъ находить много такого, что вовсе не согласно съ его понятіями, убѣжденіями, его прошлою жизнью; она не походитъ на другихъ его дочерей, она не походитъ и на другихъ дѣвицъ—все у ней не по старинному выходитъ, не такъ, какъ у другихъ, а какъ-то по своему; даже въ разговорахъ съ мужчинами, кое-чему учившимися и занимающими хорошія должности, у нея какая-то рѣзкость и неприличіе, несвойственныя благообразной и благовоспитанной дѣвицѣ. Все это такъ и проглядываетъ въ каждомъ ея словѣ, а въ движеніяхъ и въ особенности въ манерахъ ея нѣтъ степенства, чтобы напримѣръ стоять или сидѣть съ сложенными руками и смотрѣть смиренными глазами, а какая-то явится сейчасъ живость, точно она Богъвѣсть какая особа, а не дочь ничтожнаго виннаго пристава. Ему не нравилось, что она сама отказала двумъ женихамъ, не посовѣтовавшись съ нимъ, а тутъ еще исправникъ намекнулъ, что его дочь пристрастна къ народу, т. е. къ черни, и особенно къ курчавымъ волосамъ. Онъ догадался, и этотъ намекъ точно пришибъ его. Онъ хотѣлъ ее выдать замужъ, потому что понималъ это дѣло такъ: ему Богъ далъ дочь, чтобы ее выдать замужъ, чтобы отъ нея были дѣти, но нужно выдать непремѣнно за чиновника. По его мнѣнію, были несчастны тѣ родители, которые не умѣли выгодно пристроить дочерей. Онъ не могъ допустить мысли, чтобы его дочь вышла замужъ за мѣщанина, притомъ бѣднаго. Это было бы для него позоромъ. Но онъ не выспрашивалъ объ этомъ Дарью Андреевну, не слѣдилъ за нею: ему не хотѣлось вѣрить. Но вотъ разъ онъ замѣтилъ, что она что-то шьетъ.

— Это ты что шьешь?

— Рубашку.

— Кому?

— Жена Иванова просила.

— А!

И онъ ушелъ. Теперь ему показалось, что его дочь, дѣйствительно, думаетъ выйти замужъ за мѣщанина. Ему хотѣлось поговорить съ нею серьезно, вразумить ее, что этотъ бракъ неравный, что тутъ не будетъ никакого согласія, что вся родня отвернется не только отъ нея, но даже и отъ него, но онъ находилъ себя неспособнымъ говорить съ ней, потому что зналъ ея настойчивый характеръ, насиліе же употреблять онъ находилъ безполезнымъ. И вотъ онъ мучился, не зная, что̀ ему дѣлать, и запилъ снова, тайкомъ отъ дочери. Пробовалъ было онъ разъ начать, да ничего не вышло.

Вошелъ онъ въ ея комнату. Она читала «Журналъ Вольнаго Экономическаго Общества» прошлаго столѣтія. Какъ только онъ вошелъ,—она сказала съ улыбкой:

— Какъ широко прежде господа жили: вонъ тутъ только на столъ одному лицу велѣно отпускать въ мѣсяцъ тридцать тысячъ.

— А ты господъ не любишь, кажется?

— Да помилуйте папаша, тридцать тысячъ вѣдь ужасно много! Если бы намъ дали на столъ тридцать рублей на тогдашнія деньги, мы бы богачи были.

— Охота тебѣ всякую нелѣпость читать.

— Какая же это нелѣпость — видите подпись.

— Что мнѣ въ подписяхъ. Лучше хоть бы шила... что ли...

— Да я ужъ сшила.

— И денежки получила?—спросилъ онъ съ злой улыбкой.

Щеки Дарьи Андреевны покраснѣли.

— Ну, что жъ, получила много?

— Я помогала женѣ Иванова отъ нечего дѣлать. Она брала шить отъ какого-то приказчика съ пристани. Дастъ — хорошо, не дастъ — Богъ съ ней, въ другой разъ не возьму. Даромъ-то вѣдь не совсѣмъ пріятно сидѣть нагнувшись по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ.

Отецъ повернулся и ушелъ. «Хитрая! и въ кого это родилась?» — спрашивалъ себя Андрей Иванычъ.

Вотъ и канунъ Ильина дня. Горожане суетятся въ домахъ, торопливо ходятъ по улицамъ; всѣ какъ-будто въ напряженномъ состояніи, а въ домѣ Андрея Иваныча точно кто при смерти находится. Самъ онъ бродитъ еле-еле, что-то изрѣдка шепчетъ; Дарья Андреевна сидитъ блѣдная, прислушиваясь къ его шагамъ, кашлю, стараясь услышать что-нибудь изъ его шептаній; ночью ей не спится: къ ней вкралось подозрѣніе—не замышляетъ ли отецъ чего худого. Она и бритвы, и ножики перочинные отобрала отъ него; она, какъ онъ уйдетъ, все у него перебирала, стараясь найти какое-нибудь орудіе, а когда онъ уходитъ въ садъ, то она часто бѣгала туда взглянуть издали, что дѣлаетъ отецъ. Даже прислуга и та повѣсила носы: всѣ больше спали и, единственнымъ ихъ разговоромъ было то, что вотъ они поживутъ до завтра и отойдутъ отъ Яковлева, который, пожалуй, того и гляди, что помретъ, а съ мертваго что возьмешь?

Вечеромъ Ильинскъ принималъ праздничный видъ; мужчины и женщины, одѣтые въ самыя лучшія платья, по средствамъ каждаго, шли изъ церкви кучами по домамъ; одни говорили, другіе хохотали, третьи зѣвали, аристократы ѣхали въ пролеткахъ съ смѣющимися дамами и безъ гордости снимали шляпы на поклонъ какого-нибудь торгаша; кое-откуда слышались ухарскія пѣсни; кое-гдѣ изъ дворовъ слышалась ругань пьянаго мужчины и визгъ женщины, сопровождаемый тоже руганью; кое-гдѣ на углахъ торчали въ одиночку пьяные мѣщане въ халатахъ въ накидку и въ фуражкѣ съ козырькомъ на бокъ, съ полуштофомъ, или косушкой, въ одной рукѣ и пошатываясь несвязно что-то говорили вслухъ. Одинъ только Андрей Иванычъ шелъ изъ церкви угрюмый,

не слушая, повидимому, болтовни шедшаго рядомъ съ нимъ Павлова, который былъ одѣтъ такъ, какъ будто онъ сбирался сейчасъ подъ вѣнецъ.

— Такъ зайдемте? — спросилъ робко Павловъ Андрея Иваныча.

— Къ тебѣ-то? Пожалуй пойдемъ.

Андрей Иванычъ ни разу не бывалъ у Павлова въ домѣ. Павловъ, выходя изъ церкви, пригласилъ его къ себѣ напиться чаю; тотъ въ другое время ни за что бы не пошелъ, но теперь ему хотѣлось развлечься. Внутренность дома Павлова была не очень привлекательна; стѣны покачнувшіяся, но обклеенныя писаной и книжной бумагой, потолки неровные, полъ хотя и устланъ половиками, но одна его сторона была выше, другая ниже. Впрочемъ всѣ вещи были въ порядкѣ; все было чисто, только отзывало бѣдностью.

Когда они пришли въ комнату, тамъ у стола, накрытаго красною скатертью и на которомъ стоялъ самоваръ съ чайникомъ и посуда, сидѣла въ бѣломъ чепчикѣ мать Павлова, а двѣнадцатилѣтняя черномазая дѣвочка съ подстриженными въ скобку волосами неистово царапала обѣими руками голую спину старухи. При входѣ гостя дѣвочка вмигъ поправила рубашку на старухѣ, накинула на ея плечи шаль и сѣла на другой стулъ рядомъ съ ней, сложивъ на колѣни руки и тупо глядя на вошедшихъ.

— Что жъ ты, мерзавка!—проговорила старуха.

— Богъ на помочь, бабушка. Съ праздникомъ,— проговорилъ Андрей Иванычъ.

— А! батюшка, Андрей Иванычъ! Спасибо—не поспѣсивился. Охъ, слѣпа стала совсѣмъ! Днемъ-то еще кое-какъ маракую, а какъ вечеръ—совсѣмъ не вижу.

— И меня не видишь?

— Вижу, ровно тѣнь, а отличить не могу. Машутка, неси калачей, да смотри не ковыряй пальцами-то,—приказала она дѣвочкѣ. Та не торопясь ушла.

— Это чья?—спросилъ Андрей Иванычъ Павлова.

— Мамашина племянница. А мы Андрей Иванычъ, не выпьемъ ли передъ чаемъ-то?

— Ты ужъ радъ! Праздникъ-то завтра; еще до него умереть можно...—проворчала старуха.

— Ничего, передъ чаемъ по одной можно,— сказалъ Андрей Иванычъ.

Павловъ скрылся; Андрей Иванычъ занялся со старухой. Та жаловалась на свою бѣдность, происходящую оттого, что мужъ ея, попавшись подъ судъ, не оставилъ ей пенсіона; жаловалась она на гордость людскую, на неуваженіе къ ней сына, который хотя и не пьетъ теперь, но неизвѣстно куда дѣваетъ деньги, и наконецъ до того расчувствовалась, что заплакала. Андрей Иванычъ старался ее утѣшить, какъ могъ, и обѣщалъ непремѣнно послѣ Успенья Пресвятой Богородицы сыграть свадьбу и водворить ее къ себѣ.

— И, батюшка, золотомъ обсыпь, не покину свою избушку. Я такъ привыкла къ ней, что мнѣ и ночи не ночевать въ другомъ мѣстѣ.

— А если тебя зашибетъ?

— Не зашибетъ: много лѣтъ ужъ домъ такъ-то стоитъ. Ну, а если Господь прогнѣвается да меня зашибетъ, такъ все же я въ своемъ дому помру.

Пришелъ Павловъ и принесъ полный графинъ водки съ двумя красными стручками на днѣ его и тарелку съ грибами; дѣвочка принесла остальное. Бесѣда шла весело; старуха, выпивши двѣ рюмки, оказалась до того говорливою, что скоро надоѣла Андрею Иванычу, а если онъ заговаривалъ съ Павловымъ, она обижалась и говорила: ты съ нимъ не говори, меня слушай. Андрей Иванычъ выпилъ передъ чаемъ одну рюмку, а Павловъ успѣлъ выпить двѣ; черезъ часъ послѣ чая въ графинѣ водки было уже на палецъ. Старуха объяснила это такъ:

— Онъ такой человѣкъ, что не можетъ оставить посуду съ водкой. Ты ему дай шкаликъ—онъ весь выпьетъ, дай полуштофъ—кажется, совсѣмъ ужъ пьянъ и спать лягетъ, да какъ вспомнитъ, что у него въ графинѣ еще есть, непремѣнно выпьетъ.

Андрей Иванычъ захмелѣлъ порядочно. Теперь у него явилась храбрость и онъ готовъ былъ объясниться съ дочерью. Старуха тоже захмелѣла, но ей хотѣлось говорить; она что-то начинала нѣсколько разъ. Вдругъ Павловъ скрылся куда-то; старуха, почувствовавъ, что нѣтъ сына, начала:

— А скоро ты Дарью-то Андреевну выдаешь?

— Что?

— Я спрашиваю, скоро ли молъ ты ее замужъ отдаешь?

— За кого?

— За Ваську Иванова.

— Какъ такъ?

— Вотъ тѣ и разъ! Такъ это неправда! То-то я все думала: ужъ не рехнулся ли въ умѣ нашъ приставъ...

— Кто это тебѣ совралъ?

— Да старуха Голоушина, что рядомъ съ Ивановымъ живетъ, говорила мнѣ одной по секрету, что Дарья Андреевна ходитъ къ молодому Иванову.

— Врешь ты, старуха! До старости ты дожила, а ума не нажила.

— Что дѣлать... Я говорю, что слышала, а сама не видала.

— Ну, молчи, коли хочешь, чтобы твой сынъ женился на моей дочери.

Старуха замолчала, а Андрей Иванычъ, весьма разсердившись, ушелъ домой.

Пришелъ онъ часу въ двѣнадцатомъ и отправился прямо въ кабинетъ.

— Кушать хотите? — спросила его Дарья Андреевна.

— Нѣтъ—сказалъ онъ охриплымъ голосомъ и взглянулъ на нее сурово.

— Дарья Андреевна замѣтила, что отецъ пьянъ, и очень разсердилась на Павлова; но ее испугали его злые глаза и охриплый отвѣтъ.

Отецъ раздѣвался. Она ушла въ свою комнату, сѣла къ столу и ей сдѣлалось горько, что отношенія отца къ ней измѣнились. Она уже давно замѣчаетъ эту перемѣну въ его злыхъ взглядахъ и улыбкахъ, по его отрывочно рѣзкимъ словамъ, по его подсматриванью за ней; горько, что всѣ, можетъ-быть, горо-

жане, какъ бы у нихъ ни было велико горе, спокойно заснутъ эту ночь съ надеждой дожить до завтрашняго дня, чтобы провести время у кого-нибудь и залить свое горе если не пивомъ и водкой, то хотя дружескими разговорами... Печаль, тоска, одиночество, неопредѣленность будущаго — все это давило ея мозгъ, щемило сердце больно-больно, и она горько-горько и долго плакала...

Она не замѣтила, какъ вошелъ отецъ въ ея комнату и стоялъ въ халатѣ у дверей со свѣчкой въ одной рукѣ.

— Змѣя! У-у-у, ты змѣ-я!!—проворчалъ онъ, скрипя неистово зубами.

Дарья Андреевна встрепенулась, взглянула и съ ней чуть не сдѣлался обморокъ; халатъ на отцѣ не былъ запахнутъ, свѣчка дрожала, лицо его было блѣдно, глаза искрились, волосы торчали, какъ щетина... Она хотѣла встать, но не могла, а смотрѣла на него, и чѣмъ больше она смотрѣла на него, тѣмъ меньше онъ казался ей; наконецъ онъ казался ей такъ малъ, что какъ будто стоялъ гдѣ-то далеко въ туманѣ.

Отецъ повернулся, и она очнувшись увидала его во весь ростъ. Онъ ушелъ, крѣпко хлопнувъ дверьми.

Нѣсколько минутъ Дарья Андреевна не могла прійти въ себя отъ этой сцены. Слезы уже не шли изъ глазъ; ее пробирала дрожь, такъ что стучали зубы, тряслись руки, въ головѣ былъ жаръ. «Господи! зачѣмъ я пріѣхала сюда? Уйду я; уйду теперь же... Но это, можетъ-быть, онъ съ пьяна... Нѣтъ, я не могу теперь спать, я пойду въ садъ». Она встала, ее пошатывало... Когда она вышла изъ комнаты, то дверь въ кабинетъ была отворена; стала она отпирать дверь въ прихожую—заперта, но ключъ тутъ; она повернула ключъ,—замокъ щелкнулъ, половинка двери заскрипѣла.

— Куда-а!!—спросилъ отецъ полуязвительно и полупрезрительно, стоя въ дверяхъ кабинета со свѣчкой.

Дарья Андреевна вздрогнула.

— Тебя спрашиваютъ?—крикнулъ отецъ подходя къ ней и сжимая кулакъ.

— Въ садъ, папаша.

— Къ любовника-амъ! А!! любовниковъ завела...

— Папаша...

— Молчать!..

У отца выпалъ подсвѣчникъ. Дарья Андреевна подняла его, поправила свѣчку и понесла ее въ кабинетъ. Отецъ пошелъ за ней. Дарья Андреевна хотѣла говорить съ отцомъ, но у нея пересохло горло, она дрожала еще пуще прежняго и не могла сказать нѣсколько словъ.

Она пошла въ свою комнату, отецъ пропустилъ ее и проводилъ суровымъ взглядомъ. Комнату она заперла; легла въ изнеможеніи на кровать, но заснуть не могла: ей было то очень жарко, то очень холодно.

Отецъ дернулъ за скобку двери.

— Я здѣсь; оставьте меня...—проговорила она едва-едва.

Въ это время заслышалось звяканье колокольчиковъ все ближе и ближе, наконецъ перестало у дома Яковлева. Пріѣхала Марина Осиповна съ Марьей Андреевной, Осипомъ Андреичемъ съ его супругой и дѣтьми.

Андрей Иванычъ повеселѣлъ, остальные тоже были веселы; Дарью Андреевну всѣ поцѣловали. Она старалась быть веселой и бодрой, но выходило какъ-то плохо, такъ что Мареа Антоновна спросила ее:

— Что съ тобой, моя милая? ты какъ будто нездорова.

— Голова немножко болитъ.

Комнату Дарьи Андреевны заняла Мареа Антоновна, кабинетъ — Осипъ Андреичъ, а Марья съ Дарьей ушли въ дѣтскія. Марья Андреевна недолго разсказывала о своихъ подвигахъ въ селѣ, скоро заснула, и какъ только она заснула, Дарья Андреевна ушла въ садъ и до полнаго разсвѣта бродила по саду или сидѣла, гдѣ попало. Ночь была свѣжая, трава мокрая, но она не обращала на это вниманія и только при полномъ разсвѣтѣ почувствовала всеобщую слабость въ тѣлѣ, такъ что едва-едва добралась до дѣтской, едва влѣзла на кровать и черезъ часъ съ ней сдѣлался бредъ.

Утромъ Андрей Иванычъ поѣхалъ на рынокъ. Онъ былъ веселѣе, чѣмъ вчера, и раскаивался въ своемъ грубомъ обращеніи съ дочерью. Теперь ему, трезвому, не вѣрилось, чтобы все то, что ему наговорила старуха Павлова на дочь, было правда; только онъ не понималъ того, — зачѣмъ она хотѣла идти въ садъ. Слезъ ея онъ не замѣтилъ, потому что когда онъ вошелъ съ помутившимися глазами и въ возбужденномъ состояніи, то она сидѣла облокотившись на столъ; но и это обстоятельство, благодаря пріѣзду жены и сына, онъ относилъ къ привычкѣ Дарьи Андреевны уходить въ садъ, когда ей вздумается. «Ничего, думалъ онъ, перемелется — мука будетъ. Пожурить ее не мѣшало, потому она еще молода, мало знаетъ жизнь и людей. Предостеречь тоже не мѣшаетъ; послѣ спасибо скажетъ. Сегодня будутъ гости,—все забудется и пойдетъ своимъ чередомъ, а тамъ посмотримъ, что дальше предпринять».

Въ балаганахъ укладывали на полки ситецъ, сукна и разные другіе товары; на рынкѣ копошились горожане съ мѣшками и лукошками; между рынкомъ и балаганами въ одномъ углу стояли коровы, три козы и три лошади, запряженныя въ телѣги; внизу у садковъ тоже былъ народъ. Купивъ рыбы, Андрей Иванычъ отправился на рынокъ. Посреди площади кучка мужчинъ и женщинъ голосили. Увидѣвши Яковлева, нѣсколько человѣкъ отдѣлилось отъ толпы и остановили его лошадь.

— Скажите на милость, что это вашъ Зиновьевъ творитъ?—кричалъ одинъ мѣщанинъ.

— Что?—спросилъ Андрей Иванычъ.

— А то; по какому праву говядина нонѣ вмѣсто пяти копеекъ продается по десяти?

— Какъ такъ?

— Очень просто! По десяти продается, и не у одного, а вездѣ.

— И не одно мясо, а и мука по три копейки фунтъ. Али это не разбой!

Къ Андрею Иванычу подошелъ Василій Миронычъ.

— Хоть вы уговорите прасоловъ не продавать дорого. Сами знаете, праздникъ большой; у многихъ гости будутъ...

Андрей Иванычъ пошелъ къ одному прасолу— проситъ восемь коп.

— Какъ же ты съ насъ просилъ десять? — спросилъ Василій Миронычъ прасола.

— Ты не кричи! Ты не покупаешь, а только народъ мутишь.

Къ прасолу подошло много мѣщанъ и женщинъ въ шляпкахъ и въ платкахъ. Всѣ вопили на несправедливость.

— Берите, берите, кому надо. Продадимъ — и за двадцать не получите, — дразнилъ народъ одинъ прасолъ, рубя на части половинку. Дѣло въ томъ, что продавцовъ мяса было всего шесть человѣкъ на весь городъ, и у каждаго мяса было небольшое количество.

Андрей Иванычъ пошелъ къ другимъ прасоламъ и у одного купилъ мяса по шести копеекъ. Стали торговать жены чиновниковъ и мѣщанъ—меньше девяти не отдаетъ. Опять крикъ.

— Ведите его къ исправнику!—кричалъ Василій Миронычъ.

Толпа напала на прасола, прасола потащили, до мяса никто не дотрогивался.

— Что вы дѣлаете, негодяи? Вѣдь вы видѣли таксу?—вступился Андрей Иванычъ.

— Ишь ты! А тебѣ зачѣмъ онъ продалъ по шести копеекъ?

— Не твое дѣло!—крикнулъ Андрей Иванычъ. И сталъ закупать гусей, утокъ и проч., и невредимъ уѣхалъ домой.

Между тѣмъ мѣщане потащили прасола къ исправнику, и хотя за выручку хотѣла сѣсть его жена, но ея не пустили. Прасолъ кричалъ, что онъ будетъ жаловаться начальству. Мѣщане разсудили, что надо тащить всѣхъ прасоловъ, а не одного, и поэтому, отпустивъ его, одни пошли къ исправнику, но дорогой между ними вышла ссора и половина, большею частью люди трусливые, разбрелись по домамъ. Исправника въ городѣ не оказалось—уѣхалъ на слѣдствіе. Пошли къ полицейскому приставу. Такъ какъ Ильинскъ считался незначительнымъ городомъ съ небольшимъ населеніемъ, то въ немъ ни полицеймейстера, ни городничаго не полагалось. Исправникъ завѣдывалъ какъ самымъ городомъ, такъ и его уѣздомъ, въ помощь же ему для управленія городомъ полагались полицейскій приставъ и два квартальныхъ надзирателя. Отдѣльнаго зданія для полиціи въ Ильинскѣ не существовало, арестованные за кражу и другіе проступки сидѣли или въ темномъ чуланѣ того дома, который нанималъ приставъ, или въ темной избѣ, построенной въ концѣ города по трактовой улицѣ, гдѣ также есть и амбаръ, въ которомъ хранятся пожарная труба и двѣ лѣстницы, никогда не употребляемыя на пожарахъ по ихъ негодности.

Полицейскій приставъ сказалъ толпѣ, что ему теперь некогда, а если они видятъ съ чьей-нибудь стороны несправедливость, то могутъ жаловаться завтра формальнымъ образомъ.

— Да помилуйте! Они мясо продаютъ по десяти копеекъ.

— А мнѣ какое дѣло!

— Какъ какое дѣло? На то ты и полиція.

— Кто это кричитъ? Не хочетъ ли онъ въ чуланъ?

— Господа! этому дѣлу попускаться не надо: надо писать жалобу губернатору,—сказалъ Василій Миронычъ.

— А мы такъ и останемся безъ мяса?

— Что жъ такое? Намъ не привыкать ѣсть горошницу.

— Ишь ты! А праздникъ для чего данъ?

— Купимъ рыбы, а мяса покупать сегодня не станемъ. Пусть они везутъ назадъ его.

— Дѣло!

Толпа повалила на рынокъ и съ хохотомъ, руганью и остротами прошла мимо прасоловъ, торгующихъ мясомъ.

У Андрея Иваныча Ильинъ день былъ всегда большимъ праздникомъ: послѣ обѣдни все духовенство, вся городская аристократія и даже знакомые помѣщики сбирались у него. Сперва былъ молебенъ, потомъ чай, закуска, обѣдъ, гулянье въ саду и на ярмаркѣ, а вечеромъ устраивались танцы, и весь домъ былъ иллюминованъ плошками, которыя привозились нарочно изъ Егорьевска. Но нынче онъ не думалъ устраивать ничего подобнаго, потому что у него мало было денегъ, и жена пріѣхала только ночью.

Какъ только онъ пріѣхалъ домой и вошелъ въ сѣни, то засталъ тамъ какую-то бѣготню: кухарка бѣжала изъ кухни въ дѣтскую съ ковшомъ воды; Марина Осиповна кричала въ кухнѣ; Осипъ Андреичъ говорилъ что-то громко и торопливо въ дверяхъ дѣтской; Марѳа Антоновна пробѣжала въ кухню изъ передней.

— Даша нездорова! — сказала вышедшая изъ кухни Марина Осиповна, увидѣвши Андрея Иваныча.

— Какъ?—спросилъ тотъ съ испугомъ.

— Нездорова. Вся горитъ, бредитъ...

Андрей Иванычъ вошелъ въ дѣтскую. Дарья Андреевна была блѣдна, волосы у ней были растрепаны, на лбу лежала тряпка, намоченная уксусомъ. Она бредила и, казалось, ничего не узнавала и не понимала того, что ей говорили. Около нея суетились Осипъ и Марья.

— Что за притча? И отчего бы это? Она вчера здорова была, только вечеромъ я замѣтилъ, что у нея, кажется, голова болѣла; она хотѣла идти въ садъ, но я не пустилъ ея, — говорилъ Андрей Иванычъ.

— Папаша, я съѣзжу за лѣкаремъ, — сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Да можетъ пройдетъ!—сказала Марина Осиповна.

— Какое пройдетъ, мамаша, у нея горячка, бредъ.

— Ахъ ты, Господи! Вотъ тебѣ и праздникъ!

Андрей Иванычъ послалъ сына за лѣкаремъ, постоялъ у дочери, велѣлъ перенести кровать въ другую комнату и ушелъ наверхъ сильно опечаленный. Ему удивительнымъ казалось, отчего она могла захворать.

Приходило ему на память вчерашнее его поведеніе съ ней, но онъ никакъ не могъ допустить того, чтобы на нее могли повліять его рѣзкія слова. И вѣдь вздумала же она захворать непремѣнно сегодня, когда къ нему могутъ напроситься на обѣдъ казначей, исправникъ и другіе; захворай она въ другой разъ, тогда бы ничего.

— Что же вы расхаживаете? Надо что-нибудь дѣлать!—напала на него Марина Осиповна.

— Я право такъ разстроенъ... Голова ходитъ кругомъ...

— Ужъ вы всегда такъ.

— Дѣлай, какъ знаешь!

— Нельзя же намъ изъ-за одной больной всѣмъ сидѣть повѣся носъ. Кто у насъ будетъ сегодня?

— Я право не знаю...

— Вы, кажется, безъ меня совсѣмъ дуракомъ сдѣлались.

— Ахъ, отстань ты отъ меня!

И онъ ушелъ въ кабинетъ. Невеселыя мысли бродили въ его головѣ. Зазвонили сперва на соборъ, потомъ къ обѣднѣ—ему еще грустнѣе сдѣлалось, но онъ одѣлся въ форму. Пришелъ Осипъ и сказалъ, что лѣкарь уѣхалъ съ исправникомъ въ уѣздъ.

— Можетъ-быть, и пройдетъ,—сказалъ Андрей Иванычъ.

— Конечно!.. Эти женщины черезчуръ нѣжны: чуть что—и больна.

И отецъ съ сыномъ уѣхали въ церковь, дамы начали одѣваться. Черезъ часъ въ домѣ остались Марина Осиповна и кухарка, готовившія кушанья, и больная Дарья Андреевна, оставленная въ дѣтской безъ всякаго призора.

Обѣдню служилъ Пьянковъ съ священникомъ Ильинской церкви: Третьяковъ отъ служенія по болѣзни отказался, а стоялъ въ алтарѣ въ качествѣ зрителя. Ему было обидно, что Пьянковъ не уступалъ ему первенства въ служеніи. Въ церкви была вся городская знать; были тутъ и пріѣзжіе помѣщики, и такъ какъ въ нее вмѣщалось не больше трехсотъ человѣкъ, то мѣщанъ попало немного, и давка была страшная; зато около церкви и на площади было до двухъ тысячъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Всѣ они галдѣли о сегодняшней дороговизнѣ и хотѣли прижать Зиновьева, когда онъ пріѣдетъ. Народъ прибывалъ, но уже въ меньшей степени, и приходящіе говорили, что мясо теперь продается по прежней цѣнѣ, и прасолы жалуются, что ихъ заставили къ этому приставъ съ Зиновьевымъ... Народъ не зналъ, чему это приписать. Таксу видѣли многіе, она утверждена думой, только подписался не самъ Зиновьевъ. Всѣ занялись этимъ предметомъ, и каждый толковалъ по-своему, такъ-что рѣдко кто былъ согласенъ съ мнѣніемъ пяти человѣкъ. Пріѣхалъ Зиновьевъ; его пропустили молча, и онъ даже снялъ фуражку и поклонился, хотя ему никто не поклонился.

— Что вы, олухи царя небеснаго, молчите! Раньше кричали, а теперь и молчать,—кричалъ молодой Ивановъ, когда Зиновьевъ вошелъ въ церковь.

— А ты боекъ, такъ и говори!

— Васъ если голодомъ заморятъ, вы и тутъ молчать будете.

— Кому говорить-то, коли согласія нѣтъ, коли всѣ дураки, а одному не стоитъ — струситъ, коли спрашивать будутъ!

Опять заговорилъ народъ, начался хохотъ; нѣсколько человѣкъ стало бороться. О дороговизнѣ уже не было рѣчи; теперь судили о нарядахъ исправническихъ дочерей и пр.

На обѣдѣ Андрея Иваныча было немного гостей: духовенство и свои родные; былъ тутъ и Павловъ. Всѣ они посмотрѣли на Дарью Андреевну, покачали головами и ушли, говоря: воля Божія! А самъ Зиновьевъ говорилъ: все это отъ гордости происходитъ; Бога мы забыли; родителей не почитаемъ. Марина же Осиповна, казалось, даже рада была болѣзни падчерицы и спросила какъ-то, между прочимъ, Мареу Антоновну:

— Какъ ты думаешь, выздоровѣетъ она, или нѣтъ?

— Дѣло чѣмъ-то серьезнымъ пахнетъ.

— Неужели?

— Если не будете лѣчить, пожалуй и плохо.

Марина Осиповна ничего не сказала, но умильно взглянула на образъ.

Одна только Анисья Осиповна не отходила отъ больной, и хотя ее убѣждали, что она можетъ заразиться, и нѣсколько разъ звали къ обѣду, но она твердо рѣшилась не отходить отъ подруги до тѣхъ поръ, пока съ той не прекратится бредъ.

Андрей Иванычъ тоже ходилъ повѣся носъ, часто спускался къ больной, и когда смотрѣлъ на нее, то у него навертывались слезы, и не могли развеселить шутки гостей, которые были очень веселы, ѣли и пили много, а послѣ обѣда разбрелись кто спать, кто на ярмарку, на которой было уже много пьянаго народа, щелкающаго орѣхи, кушающаго яблоки, покупающаго платки и гнилой ситецъ, или бродящаго безъ цѣли.

Праздникъ у Андрея Иваныча кончился невесело. Хватились вечеромъ Андрея Иваныча — нѣтъ его. Думали, не зашелъ ли онъ куда-нибудь, но Марья Андреевна, гулявшая съ Павловымъ по саду, случайно набрела на горку. Тамъ, на травѣ, лежалъ ея отецъ, и передъ нимъ лежала пустая бутылка; стали звать его домой, онъ не пошелъ, а сказалъ, что у него болитъ голова и чтобы его оставили въ покоѣ. Хотѣли-было устроить танцы, но Осипъ Андреичъ отсовѣтовалъ и ограничились только простою игрою въ карты.

Утромъ пришелъ Андрей Иванычъ и сталъ одѣваться въ форму.

— Куда вы, папаша?—спросилъ его Осипъ Андреичъ.

— Какъ куда? Развѣ ты не знаешь?.. Вѣдь драть хотятъ. Слышишь—выдеремъ! И выдерутъ...

Сынъ съ испугомъ и удивленіемъ сталъ смотрѣть на отца.

— Ужъ идутъ... А ты запри дверь-то не пущай,—проговорилъ съ испугомъ Андрей Иванычъ.

— Что съ вами, папаша?—спросилъ Осипъ Андреичъ.

— Дверь запри, говорятъ тебѣ!

Осипъ Андреичъ вышелъ и, поймавши Марину Осиповну въ коридорѣ, шепнулъ ей на ухо, что съ отцомъ что-то нехорошее случилось. Марина Оси-

повна пошла въ кабинетъ и черезъ четверть часа вернулась оттуда печальная. Сѣла она на стулъ въ залѣ и заплакала. Это удивило Марью Осиповну и Марѳу Антоновну. Осипъ Андреичъ бродилъ блѣдный.

— Боже мой! Боже мой!.. до чего я дожила...— говорила Марина Осиповна.

— Что такое? что такое?—спрашивали въ испугѣ дочь и жена Осипа Андреича.

Въ комнату вошелъ Андрей Иванычъ въ мундирѣ, при шпагѣ; только у него не было надѣто ни манишки, ни жилета. Войдя въ комнату, онъ захохоталъ.

Женщины сидѣли съ натянутыми лицами.

— А вы бѣжать? Нѣтъ, я васъ поймаю... Осипъ, скажи Николаю, чтобы онъ никого не смѣлъ пускать... Ишь, выдумали: драть! И кого? Меня... Ду-удки!—проговорилъ Андрей Иванычъ.

— Боже мой! Онъ съ ума сошелъ! И я... несчастная... жена сумасшедшаго,—проговорила Марина Осиповна со слезами, и ей сдѣлалось дурно.

XIII.

Андрей Иванычъ перепугалъ всѣхъ. Нѣсколько минутъ послѣ описанной сцены всѣ молчали, не зная, что предпринять, на что рѣшиться и какъ рѣшиться и какъ опредѣлить состояніе Андрея Иваныча. Марѳа Антоновна сперва было подумала, что Андрей Иванычъ представляется, но когда онъ сталъ спускаться внизъ, то она рѣшила, что онъ дѣйствительно рехнулся умомъ и ей надо поскорѣе уѣзжать; Марина Осиповна считала себя помѣшанною, потому что мысли ея не клеились, передъ ея глазами разстилался туманъ, и слова: позоръ, стыдъ, срамъ то и дѣло готовы были сорваться съ языка; Марья Андреевна хотѣла уйти внизъ, чтобы разболтать о случившемся Анисьѣ Осиповнѣ, но вдругъ въ ея голову влѣзла мысль: а пожалуй она и не выйдетъ замужъ. Мачеха сказала, что отецъ съ ума сошелъ; Павловъ теперь кобянится, а какъ узнаетъ, пожалуй, и откажется. Хотя же у нея есть душенька изъ судейскихъ, только на него послѣ эдакого скандала расчитывать нечего. Ей теперь даже и по двору идти стыдно. Выйди она, всѣ будутъ на нее указывать пальцами и говорить: несчастная дѣвушка! Отецъ съ ума сошелъ, женихъ пьянчуга, да и тотъ, пожалуй, отказался. Осипъ Андреичъ чувствовалъ невыгодное положеніе мачехи и сестеръ, которыхъ ему, пожалуй, теперь придется содержать, такъ какъ онъ слышалъ, что суды въ домѣ недолго просуществуютъ.

Изъ этого состоянія вывелъ ихъ явившійся въ залу молодой человѣкъ въ вицмундирѣ.

— Позвольте васъ спросить, здѣсь живетъ винный приставъ, господинъ Яковлевъ?

— Здѣсь, но онъ боленъ. А вы по дѣлу?

— Да... Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

Осипъ Андреичъ рекомендовался. Гость отвелъ его въ сторону.

— Я чиновникъ особыхъ порученій при начальникѣ губерніи, имѣю порученіе немедленно приступить къ производству слѣдствія.

Осипъ Андреичъ увелъ гостя въ кабинетъ.

— Извольте видѣть, отецъ боленъ. Вы это сами увидите.

— Могу я его видѣть?

— Онъ... онъ, кажется, въ горячкѣ.

— Но какъ же это кажется? вѣдь вы говорите положительно, что онъ боленъ.

— Да... у него тутъ что-то неладно.—И Осипъ Андреичъ ткнулъ пальцемъ въ лобъ.

— А! это другое дѣло. И давно?

— Нѣсколько времени.

— Отчего же начальству не дали знать?

Въ кабинетъ вошелъ секретарь уѣзднаго суда и вызвалъ Осипа Андреича въ прихожую.

— А-а! Ради Бога уведите отца! Онъ тамъ въ судѣ у насъ такъ гудитъ, что никому заниматься невозможно: все прячется, подъ столы лѣзетъ.

Осипъ Андреичъ извинился передъ гостемъ, пригласилъ его въ залу, рекомендовалъ дамамъ, а самъ ушелъ внизъ. Марѳа Антоновна тотчасъ же овладѣла гостемъ и до того очаровала его, что онъ согласился обѣдать у Яковлева.

Кое-какъ Осипъ Андреичъ привелъ отца домой. Чиновникъ, удостовѣрившись, что Яковлевъ дѣйствительно нездоровъ, послалъ кому слѣдуетъ бумагу объ освидѣтельствованіи его и объ отобраніи отъ него всѣхъ бумагъ по должности и потомъ ушелъ, обѣщаясь прійти къ обѣду. На приглашеніе поселиться у нихъ онъ отказался.

Немного погодя, Андрей Иванычъ пришелъ въ себя и долго удивлялся тому, что съ нимъ было. Потомъ онъ чего-то хватился и, доставши изъ стола письмо, подалъ его сыну.

— Я его вчера послѣ обѣда получилъ.

Сынъ сталъ читать, но на лицѣ его не замѣчалось испуга. Все дѣло состояло въ томъ, что Андрея Иваныча извѣщалъ старинный пріятель изъ губернскаго правленія, что по доносу неизвѣстнаго лица назначено слѣдствіе по одному дѣлу, которое уже было рѣшено, что онъ представилъ, такіе документы, что и губернскому правленію и уголовной палатѣ будетъ плохо, тѣмъ болѣе, что дѣло оказалось изъ архива исчезнувшимъ, что и Зиновьеву также не избѣжать суда.

— Это пустяки, потому что дѣла нѣтъ. Виноватъ архиваріусъ. Начнутъ снова—многихъ свидѣтелей на лицо нѣтъ, прошло уже пять лѣтъ.

— А если трупъ станутъ вскрывать?

— Да онъ уже сгнилъ; къ тому же, вы знаете нашихъ докторовъ...

— Однако, черепъ-то былъ прорубленъ.

— Стоитъ объ этомъ думать. А вотъ вамъ не мѣшало бы, папаша, въ баню сходить.

— И отлично.

Велѣно было затопить баню, а Андрей Иванычъ занялся перебираніемъ бумагъ; но недолго онъ этимъ занимался.

— Ты слышишь?—спросилъ онъ сына съ дрожью; глаза у него были дикіе.

— Ничего не слышу.

— Драть хочутъ!

— Полно вамъ.

— Ей-Богу. И выдерутъ! Нужды нѣтъ, что я чи-

новникъ. Вонъ ихъ сколько—разъ, два, три... и Дарья тутъ. Слышишь!

Сынъ захохоталъ.

— Не вѣришь. Ну, стало быть, ты или глухъ, или набитый оселъ.

— Ей-Богу, ничего не слышу.

— Тебѣ вѣдь все равно—отецъ я тебѣ или нѣтъ?

— Вотъ въ баню сходите—лучше будетъ.

— Слышь: отлично! Хорошъ сынокъ! Въ банѣ выдеремъ, выдеремъ, выд... Господи! Все, что я ни подумаю—они ужъ знаютъ. Осипъ! что это такое: я ихъ не вижу, а слышу, и все знакомые голоса: исправникъ, отецъ Сергій, всѣ... а Пьянковъ и Трынкинъ кричатъ больше всѣхъ и ровно они гдѣ-то въ потолкѣ или въ стѣнѣ.

Однимъ словомъ, съ Андреемъ Иванычемъ сдѣлалась бѣлая горячка, чего не зналъ Осипъ Андреичъ, который вплоть до бани совсѣмъ измучился съ нимъ. Положитъ его на диванъ—отецъ не лежитъ, говоритъ, что въ него хотятъ каменьями кидать; приложитъ горчишникъ ко лбу—хуже. Вышелъ онъ какъ-то ненадолго изъ кабинета, отецъ загородилъ дверь стульями, и когда Осипъ Андреичъ сталъ отпирать ее, отецъ такъ крѣпко ударилъ по двери палкой, что дверь захлопнулась, а палка выпала, и только благодаря этому послѣднему случаю, Осипъ Андреичъ вошелъ въ кабинетъ цѣлъ.

Сталъ Осипъ Андреичъ звать отца въ баню—нейдетъ. Пришлось звать на помощь Трифона и Николая. Кое-какъ дотащили до бани, насильно раздѣли и насильно втащили на полокъ. Въ банѣ было очень жарко и даже немножко угарно. Стали Андрея Иваныча парить. Нѣсколько секундъ онъ барахтался и кричалъ, но потомъ съ нимъ сдѣлался ударъ: въ одинъ моментъ его передернуло, скрючило ноги и руки, искривился ротъ, пошла пѣна изо рта, потомъ его опять передернуло, члены выпрямились и онъ уже не дышалъ.

Парившіе струсили. Стали обливать его холодной водой, но уже къ жизни не возвратили.

Извѣстіе о смерти Андрея Иваныча Яковлева въ одинъ часъ облетѣло весь городъ, и черезъ два часа, когда обмытый трупъ уже лежалъ на столѣ посреди залы, покрытый парчей, и у изголовья читалъ псалтырь Миронъ Миронычъ Ивановъ, къ дому его валили кучки любопытныхъ жителей города Ильинска. Толки шли разные: одни говорили, что онъ сгорѣлъ съ вина; другіе—что его ударилъ кондрашка, а третьи—что онъ въ сумашествіи самъ задавилъ себя; были и такіе люди, которые говорили, что у него лопнулъ животъ. Всѣхъ этихъ любопытныхъ пускали вплоть до вечера, и каждый изъ посѣтителей, впервые бывшій въ домѣ Яковлева, непремѣнно взглядывалъ на его лицо, крестился съ пожеланіемъ покойному царства небеснаго и, уходя, третировалъ все, что только замѣчалъ, и жалѣлъ многочисленную семью, оставленную покойнымъ. Вечеромъ, какъ водится, все городское духовенство служило надъ покойнымъ литію.

На другой день уже никого не стали пускать въ домъ, потому что изъ кабинета Андрея Иваныча исчезли золотые часы, а послѣ обѣда къ Маринѣ Осиповнѣ нагрянуло временное отдѣленіе земскаго суда, состоящее изъ исправника, стряпчаго, двухъ засѣдателей—одного земскаго, а другого уѣзднаго суда,—Яновскаго, чиновника уѣзднаго казначейства—въ качествѣ депутата со стороны казенной палаты,—пріѣзжаго губернаторскаго чиновника, лѣкаря и фельдшера. Марина Осиповна испугалась столькихъ гостей, пришедшихъ къ ней въ формѣ, но ее успокоили тѣмъ, что нужно соблюсти формальность, то-есть, запечатать бумаги и дѣла, оставшіяся послѣ смерти виннаго пристава, а также провѣрить деньги. Марина Осиповна попросила сыскать духовное завѣщаніе.

— А онъ вамъ не давалъ его?—спросилъ исправникъ Марину Осиповну.

— Нѣтъ. Но онъ, я помню, писалъ его. Онъ все мнѣ предоставилъ.

— Ну, мы поглядимъ. Онъ былъ человѣкъ аккуратный.

— Ради Бога. А то я останусь безъ куска хлѣба съ такимъ большимъ семействомъ.

— Приступили къ описи бумагъ, находившихся въ кабинетѣ и въ канцеляріи Андрея Иваныча; при этомъ находились Марина Осиповна, Зиновьевъ и Осипъ Андреичъ съ женой. Перерыли всѣ бумаги, шкатулки, коробки—духовнаго завѣщанія, котораго такъ добивалась Марина Осиповна, не оказалось.

— Что я стану дѣлать!—ломая руки, говорила Марина Осиповна.

— Позабылъ, и все тутъ, — утѣшалъ исправникъ.—Впрочемъ, вамъ что же унывать: съ дома вы получаете много... Мы васъ опекуншей назначимъ.

— Покорно благодарю! Чтобы я отчетъ дѣтямъ давала.

— Я, мамаша, не потребую, — сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Я на васъ надѣюсь; но другіе...—и она заплакала.

— Принесли изъ казначейства ящикъ съ деньгами. Въ деньгахъ оказался недостатокъ.

— Плохо-съ! — сказалъ исправникъ, уставивъ правый глазъ въ потолокъ.

— Нельзя ли внести?—спросилъ Осипъ Андреичъ.

— Теперь еще можно—при насъ. Мы люди свои, сами иногда заимствуемся... Я, пожалуй, готовъ внести десять рублей, — сказалъ исправникъ.

— Я этого не допущу — деньги не оказались при ревизіи, стало быть, дополнять уже поздно,— вступился губернаторскій чиновникъ.

— Ну, полноте. Будто не все равно, когда будутъ деньги пополнены,—проговорила умоляющимъ голосомъ и съ страстнымъ взглядомъ Мареа Антоновна.

— Мариша, есть у тебя деньги?—спросилъ Зиновьевъ Марину Осиповну.

— Нѣту, папаша, выручите,—шепнула плачущая Марина Осиповна на ухо Зиновьеву.

— Ну, дѣлать нечего; не хочу, чтобы семья пошла по міру, а кормить мнѣ экую ораву не приходится... Я плачу, одинъ плачу! Сколько?

Сумма была пополнена однимъ Зиновьевымъ.

Чиновникъ губернатора предложилъ отдѣленію

вскрыть трупъ, но на него накинулись исправникъ, Зиновьевъ и Марина Осиповна.

— Нѣтъ, ужъ шалишь, малый; я не дозволю. Я голова!.. Деньги я пополнилъ, а рѣзать Андрея не дозволю,—говорилъ Зиновьевъ.

— Я этого требую на томъ основаніи, что онъ умеръ скоропостижно.

Дѣло зашло до крупнаго спора; на сторонѣ чиновника были стряпчій, лѣкарь, депутатъ и Яновскій, на сторонѣ Зиновьева—остальные, и только глазки и умоляющія слова Мареы Антоновны спасли трупъ отъ вскрытія.

Марина Осиповна казалась убитою горемъ. Она ходила въ черномъ, наскоро сшитомъ платьѣ, повѣся голову, съ охами и вздохами, казалась совсѣмъ растерянной; у нея все выпадало изъ рукъ, слова выговаривались несвязно; она забывала, о чемъ нѣсколько минутъ тому назадъ говорила, перебирала вещи, сама не зная зачѣмъ; вездѣ былъ безпорядокъ, и она или ходила изъ комнаты въ комнату, или сидѣла по цѣлому часу неподвижно на одномъ мѣстѣ. Часто Осипъ Андреичъ просилъ у нея денегъ то на то, то на другое, выводилъ ее изъ оцѣпенѣнія, она глядѣла жалобно и говорила, что у нея нѣтъ денегъ, рылась въ комодѣ и доставала какую-нибудь кредитную бумажку. А Осипъ Андреичъ просилъ денегъ часто, потому что зналъ, что мачеха сразу не дастъ много, а денегъ требовалось не мало; во-первыхъ, онъ хотѣлъ схоронить отца съ шикомъ, а во-вторыхъ, хотѣлъ устроить обѣдъ для всѣхъ близкихъ знакомыхъ Андрея Иваныча; своихъ же денегъ у него было мало, да и Мареа Антоновна не дозволяла ему тратиться на томъ основаніи, что у него у самого семейство, которое мѣсяца черезъ три, пожалуй, увеличится еще однимъ членомъ. Какъ нехороша ни казалась Маринѣ Осиповнѣ жизнь съ мужемъ, особенно въ послѣднее время, но теперь она сознавала, что тогда она властвовала; ей стоило только приказать, потребовать—и все являлось; какъ это являлось, откуда и изъ какихъ источниковъ—ей не было дѣла; у нея былъ полонъ гардеробъ, много посуды, много серебра,—все это она считала своимъ; къ этому она прибавляла еще, и если бы ей пришлось выдать въ приданое Марьѣ, то она сумѣла бы дать то, что похуже; но теперь, теперь она одна. Все лежитъ на ней, на все она должна тратить свои деньги, потому что у Андрея Иваныча денегъ не оказалось. Она чувствовала какую-то пустоту, слышала сожалѣніе постороннихъ людей о томъ, что она осталась съ большимъ семействомъ, что суды грозятся переѣхать изъ дому и она будто бы не будетъ получать пенсіи на томъ основаніи, что Андрея Иваныча снова отдали подъ судъ. Каковъ бы ни былъ Андрей Иванычъ, все-таки она была при немъ въ сторонѣ; она сознавала, хотя ей и обидно было, что онъ былъ практичнѣе ея, и ей часто приходилось спрашивать его совѣтовъ, хотя она это дѣлала не прямо, а или издалека, или мимоходомъ. Теперь же, на первыхъ порахъ, она увидала хаосъ, наплывъ неизвѣстныхъ людей, которые до сихъ поръ не смѣли и въ прихожую войти, если не имѣли дѣла съ Андреемъ Иванычемъ; эти люди ходили по всѣмъ незапертымъ комнатамъ, какъ будто нанимали этотъ домъ, а прогнать ихъ было неловко, потому что уже обычай такой, что чѣмъ больше придетъ народу отдать долгъ покойнику и пожелать ему царство небесное, тѣмъ больше чести тому дому, да и душа покойника чувствуетъ нѣкоторое облегченіе. Но вотъ украли часы. Кража случилась въ первый разъ въ домѣ, и этотъ примѣръ ничего не обѣщалъ ей хорошаго въ будущемъ. Кромѣ этого, внизу лежитъ больная Дарья; ее надо лѣчить, потому что лѣкарь самъ навязался и сказалъ, что если ея не будутъ лѣчить, то она помретъ; а не давать денегъ на лѣкарства и не приглашать лѣкаря—значитъ убить падчерицу и стать во мнѣніи порядочныхъ людей злою женщиною, отъ которой могутъ отвернуться всѣ, а ей нужно было жить съ этими людьми. Она поняла, что теперь ей на родню надѣяться нечего. Она очень хорошо знала характеръ своего родителя: онъ хотя и пополнилъ сумму, но зато ужъ больше ничего и не дастъ; онъ и прежде укорялъ ее тѣмъ, что она вышла за голыша-чиновника, который только тѣмъ и хорошъ, что стряпчій. Будь она одна, ей бы легко было, она могла бы жить, гдѣ хочетъ, но на ея рукахъ остались двѣ взрослыя парчерицы, которыя будутъ требовать хлѣба, которыя совсѣмъ ей свяжутъ руки, а тутъ еще у нея свои дѣти. Остается одно: падчерицъ разсовать къ родственникамъ, но онѣ все-таки, пока не выйдутъ замужъ, будутъ требовать отъ нея денегъ съ дома, какъ отъ опекунши. Все это сбивало ее съ толку, и въ голову ея закрадывались нехорошія, скверныя намѣренія: то ей хотѣлось продать домъ, раздѣлить деньги наслѣдникамъ и самой поселиться съ своими дѣтьми къ отцу; то ей хотѣлось забрать всю посуду и серебро и вообще всѣ цѣнныя вещи себѣ и сказать, что все это ея приданое; то хотѣлось, съ помощью отца, составить духовное завѣщаніе отъ имени Андрея Иваныча, который бы и домъ и все имущество отказывалъ ей одной; но въ виду холоднаго трупа она боялась привести это въ исполненіе.

На похороны Андрея Иваныча собрался чуть не весь городъ; даже училища были заперты, потому что учителя пошли тоже отдать послѣдній долгъ покойному, но, собственно говоря, это былъ предлогъ къ тому, чтобы хорошо выпить и закусить на обѣдѣ. Въ кухнѣ уже двое сутокъ, подъ руководствомъ племянницы протопопа Третьякова, Татьяны Ѳедоровны Поповой, сухощавой, молчаливой старухи, готовили кушанья кухарка Степанида и мѣщанки Зелениха и Наталья Семеновна Иванова. Кромѣ ихъ, въ домѣ были только больная Дарья Андреевна и Анисья Осиповна, и Василій Миронычъ, котораго Осипъ Андреичъ пригласилъ подавать во время обѣда кушанья.

Дарья Андреевна лежала въ безпамятствѣ съ окутанною головою; около кровати, на столикѣ, стояли стклянки съ лѣкарствами, и лежали часы, по которымъ Анисья Осиповна исправно давала больной лѣкарство. Василій Миронычъ сидѣлъ поодаль и съ тоской смотрѣлъ на блѣдное лицо и полуоткрытые глаза Дарьи Андреевны, которая не узнавала никого. Но когда прошла похоронная церемонія съ пѣніемъ

«Святый Боже», она повернула лицо къ стоявшей около нея Анисьѣ Осиповнѣ и, широко открывъ глаза, дико стала смотрѣть на нее.

— Не безпокойся душенька. Это музыка въ саду играетъ,—сказала Анисья Осиповна.

— Поютъ.—едва слышно проговорила больная.

— Это такъ кажется. Вотъ выпей-ка кисленькаго. Василій Миронычъ, закройте ей ноги... Хоть бы она пропотѣла хорошенько.

Наступила тишина. Дарья Андреевна какъ будто забылась и только изрѣдка открывала глаза; Анисья Осиповна сидѣла около ея кровати и довязывала сѣтку; Василій Миронычъ стоялъ у окна и смотрѣлъ на какую-то стклянку. Онъ думалъ: отчего захворала Дарья Андреевна, и что у нея за болѣзнь? Ему очень было больно; ему хотѣлось плакать, но при Анисьѣ Осиповнѣ онъ стыдился. «Неужели она помретъ?» думалъ онъ. «Тогда что будетъ? Я буду одинъ, другую я не скоро сыщу такую, чтобы походила на нее. Я тогда уйду въ городъ, а здѣсь мнѣ будетъ скучно, работа не будетъ клеиться А если она выздоровѣетъ? Что тогда? Захочетъ ли она жить такъ, какъ она думала, стерпитъ ли? Ну, я женюсь, она будетъ хворать».

Такъ онъ думалъ въ комнатѣ больной и любимой имъ дѣвушки, и въ голову его закрадывалась нехорошая мысль: зачѣмъ мы сошлись и полюбились другъ другу? Можетъ-быть, изъ этого не выйдетъ ровно ничего; зачѣмъ же я мучусь; зачѣмъ нейду теперь въ городъ? Зачѣмъ я не могу вотъ даже теперь выйти отсюда?

— Вы скоро въ Егорьевскъ уѣзжаете?—спросила его вполголоса Анисья Осиповна.

— А вы почему это знаете?—спросилъ онъ съ красными щеками.

— Даша сказывала.

— Не знаю. Можетъ-быть, и скоро.

— Вы подождите исхода. Докторъ говоритъ, что Даша можетъ выздоровѣть. Вамъ пріятно будетъ видѣть ее здоровою?

— Всякому человѣку пріятнѣе видѣть здороваго.

— А по-моему еще пріятнѣе ухаживать за больнымъ, чтобы сдѣлать его здоровымъ. А я вотъ замѣчаю, что вы пробыли здѣсь впервые не больше часу, а ужъ вамъ надоѣло

— Неправда. А если я не сижу тамъ около нея, такъ потому, что на это не имѣю права; меня вы же выгнали бы. Это разъ. Другое, я не такъ близокъ съ ней, какъ вы.

— Кузьма?— сказала Дарья Андреевна и заметалась.

Анисья Осиповна погрозила Василью Миронычу, чтобы онъ молчалъ или уходилъ бы прочь и коекакъ успокоила больную. Прошло полчаса. Въ церкви зазвонили къ «Достойно». Вдругъ послышались колокольцы, и черезъ нѣсколько минутъ въ комнату больной вошелъ Кузьма Андреичъ, высокій, худощавый 17-лѣтній мальчикъ, съ красивымъ лицомъ, черными глазами и черными длинными волосами. Онъ былъ въ сюртукѣ.

Онъ тихонько подошелъ къ кровати, кивнулъ головой Анисьѣ Осиповнѣ и Василью Миронычу.

— Вы Кузьма Андреичъ, если не ошибаюсь?

— Да; а вы?

— Я? Ужели забыли Анисью Осиповну?.. Ради Бога, не подходите близко...

— Что съ нею?

— Горячка.

Кузьма Андреичъ печально посмотрѣлъ на сестру и отвелъ Анисью Осиповну въ сторону.

— Скажите, пожалуйста: отъ чего умеръ отецъ?

— Богъ его знаетъ. Говорятъ, что у него была пьяная горячка, и его нужно было лѣчить холодной водой и давать лѣкарство, чтобы онъ заснулъ, а Осипъ Андреичъ распорядился истопить баню. Въ банѣ онъ и умеръ.

— Вася! Вася!... зачѣмъ ты грому боишься...— проговорила больная, глядя въ потолокъ.

— Бредитъ. А это кто?— спросилъ Кузьма, указывая на молодого Иванова, который при восклицаніи Дарьи Андреевны поблѣднѣлъ.

— Это сынъ Иванова. Какъ вы право скоро всѣхъ перезабыли.

— Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Онъ случайно зашелъ; вашъ братъ пригласилъ его подавать кушанья.

Кузьма Андреичъ ушелъ.

— Пойду и я въ кухню,— сказалъ обиженно Ивановъ.

— Тамъ лучше? А! вы обидѣлись, что франтикъ не поздоровался съ вами? Это не хорошо.

— Обидно видѣть мальчишку, который корчитъ изъ себя барина и прежнихъ друзей не узнаетъ.

— Я не думала, что вы такой мелочной человѣкъ. Однако, вамъ пора идти приготовлять.

Ивановъ ушелъ.

Горе Марины Осиповны еще болѣе увеличилось утромъ на другой день, когда она припомнила вчерашнія событія. Событія эти тяжелы и не для одного человѣка: жилъ человѣкъ съ нами, составлялъ звено семейства, никому не мѣшалъ, и вотъ его закидали землей, могильщики безъ всякаго сожалѣнія и уваженія къ трупу ногами стали утаптывать землю. Никогда ужъ этотъ человѣкъ не воротится, никогда не услышится его словъ, крика, брани, хохота; ужъ теперь онъ не утѣшитъ семью прибавкою жалованья, полученіемъ должности, подаркомъ женѣ, дочери или сыну. Никому ужъ онъ не сдѣлаетъ теперь зла и никому не помѣшаетъ. До обѣда и во время обѣда за упокой Андрея Иваныча и пожеланіе ему царства небеснаго многими выпито было очень много водки, такъ что послѣ обѣда обѣдавшіе дошли до такого безобразія, что чуть не разодрались и не перебили посуду, стулья и стекла въ окнахъ. Приличнѣе вели себя тѣ, которые, какъ напримѣръ судья, исправникъ и пр., часто посѣщали Андрея Иваныча; безобразничали же тѣ, которые никогда у него не бывали. Положимъ, что эти гости, наѣвшись и напившись до-сыта въ большой компаніи, за однимъ столомъ съ начальствомъ, совсѣмъ подъ конецъ обѣда позабыли, что они не въ гостяхъ, а на поминкахъ; положимъ, что отъ выпитой въ большомъ количествѣ водки, у нихъ явилась храбрость никого не бояться, не признавать никакихъ авторитетовъ, которые могутъ и должны

когда-нибудь подвергнуться съѣденію червей, подобно Андрею Иванычу; положимъ, что они, одурѣвшіе отъ водки, считали себя въ правѣ ронять на полъ тарелки, какъ пріобрѣтенныя кривымъ путемъ; но во всемъ этомъ Марина Осиповна видѣла, какъ дѣлается человѣкъ ничтожнымъ, когда умретъ. Изъ обращенія множества гостей она замѣтила натянутость, точно ей хотѣли сказать: ты теперь вдова, ничто. Но не это ее мучило. Ее мучилъ пріѣздъ Кузьмы Андреича и предчувствіе чего-то недобраго. Съ самаго появленія его въ церкви и кончая вечеромъ, она была сама не своя, точно за нею кто-то подсматривалъ; ее неизвѣстно почему мучила совѣсть, она считала себя виноватою, но въ чемъ—она не могла додуматься. Кузьму никто не звалъ. Правда, Осипъ Андреичъ писалъ Ипполиту Аполлоновичу о смерти Андрея Иваныча, но о Кузьмѣ и помину не было. Онъ говорилъ вчера прямо за обѣдомъ при всѣхъ, что онъ больше не хочетъ жить у Платоновыхъ, не будетъ и учиться, а поступитъ на службу въ казенную палату, гдѣ есть двѣ свободныя писцовскія вакансіи съ девятирублевымъ жалованьемъ. Положимъ, думала Марина Осиповна, онъ не будетъ учиться и, стало быть, не станетъ требовать денегъ на книги, за ученіе и на одежду; но не будетъ ли онъ ввязываться въ ея управленіе домомъ и имуществомъ? Не захочетъ ли онъ, какъ братъ ея дѣтей, требовать отчетовъ отъ нея? Онъ и теперь считаетъ ее за какую-то постороннюю женщину въ домѣ; говоритъ нехотя—важно, смотритъ косо, свысока, да и другимъ оказываетъ какое-то пренебреженіе.

Марина Осиповна стала перебирать ложки, ножи и вилки, и все, что получше, положила въ шкатулку, намѣреваясь отнести ее послѣ чая къ отцу.

Между тѣмъ братья, спавшіе вмѣстѣ, проснулись рано. Поговоривъ о службѣ, о Платоновыхъ и дядѣ, Кузьма сказалъ брату:

— Вамъ бы, братецъ, не слѣдовало уѣзжать такъ рано.

— А что?

— Надо бы повѣрить имущество, составить опись.

— Ну, вотъ еще глупости!

— Нѣтъ, не глупости. Вы теперь, конечно, въ полученіи съ дома доходовъ не нуждаетесь.

— Оно бы, конечно, получать не мѣшало, потому что у меня своя семья. Но васъ много... я, пожалуй, и откажусь.

— А я отъ своей доли отказаться не могу, потому что я еще несовершеннолѣтній. Когда я буду совершеннолѣтній и стану занимать должность, тогда и я откажусь въ пользу малолѣтнихъ.

— Только едва-ли вы получите много съ дому. Лучше бы его продать.

— На это я несогласенъ, да и едва ли другіе согласятся, потому что за домъ здѣсь едва ли кто дастъ тысячу рублей, а его можно отдать подъ постой. Я слышалъ, здѣсь больницу хотятъ устроить. Но я говорю вовсе не о домѣ, а о вещахъ. Вѣдь у папаши серебра много осталось.

— Но я не думаю, чтобы то серебро, которое было вчера, принадлежало одному отцу. Вѣдь было шестьдесятъ-семь человѣкъ.

— А я знаю, что это папашино.

— Почему ты знаешь?

— У меня есть доказательства. Послѣ смерти первой мачехи осталась шкатулка. Эту шкатулку взяла себѣ Даша и клала туда лоскутки. Какъ-то передъ отъѣздомъ въ Егорьевскъ я былъ дома одинъ и перебиралъ въ этой шкатулкѣ лоскутки. На днѣ, подъ толстымъ листомъ бумаги, я нашелъ нѣсколько писемъ и полъ-листа бумаги, на которомъ было написано что-то похожее на вѣдомость. Я эти бумаги взялъ и спряталъ, но не понималъ, что на полулистѣ былъ написанъ мачехой подробный счетъ платьямъ, посудѣ и серебру, и съ тѣхъ поръ я часто читаю письма, къ ней писанныя родными, и этотъ счетъ.

— Это интересно. Онъ у тебя?

— У меня.

Кузьма досталъ изъ чемоданчика книжку и изъ нея вытащилъ засаленный и замаранный полулистъ бумаги. Осипъ Андреичъ стоя читалъ.

— Однако у отца-то много было въ то время добра... Э-э!—да она и меня не забыла пропустить: «дано Осипу въ день его свадьбы полдюжины серебряныхъ ложекъ чайныхъ, столько же столовыхъ; Катеринѣ въ приданое по дюжинѣ ножей и вилокъ, по полдюжинѣ серебряныхъ ложекъ, чайныхъ и столовыхъ». Однако хорошо она сестеръ одѣляла... А отецъ-то ея—протопопъ Третьяковъ не очень-то много далъ ей. «Мною принесено въ приданое: 12 столовыхъ серебряныхъ ложекъ, 12 серебряныхъ чайныхъ, полдюжины серебряныхъ бокаловъ, два мѣдныхъ самовара»...

— Когда нынче зимой отецъ былъ въ Егорьевскѣ, то онъ купилъ дюжину чайныхъ позолоченыхъ ложекъ.

— Ну, я ихъ что-то не видалъ... А въ самомъ дѣлѣ, Кузьма, не мѣшаетъ намъ потребовать отъ мачехи опись. Намъ съ тобой, конечно, не надо серебра, а вотъ—у насъ есть сестры, ихъ обижать грѣхъ... Теперь меня беретъ сомнѣніе: бокаловъ я не видалъ, а къ чаю даются, когда нѣтъ гостей, ложки польскаго серебра, изъ такихъ же ложекъ мы хлебаемъ и во время обѣдовъ. Я мачеху знаю; она женщина хитрая. Отца нѣтъ, контроля тоже,—она насъ не очень-то любитъ, особенно тебя и Дашу; пожалуй, Дашѣ она и ничего не дастъ.

— Вотъ поэтому-то я и прошу васъ настоять на описи.

— Но какъ приступить. Неловко.

— Позвать члена отъ дворянской опеки; провѣрить съ этимъ счетомъ.

— Какой ты злой!

— Тутъ не злость, а справедливость.

— Нѣтъ; зачѣмъ заводить непріятности. Мы лучше домашнимъ образомъ. Вотъ сберемся всѣ за чаемъ и попросимъ написать, что у нея есть, и потомъ распредѣлимъ, кому что слѣдуетъ. Жаль, что Даша нездорова.

Подъ вліяніемъ предшествовавшихъ дней и преимущественно вчерашняго всѣ собравшіяся въ столовую къ чаю лица имѣли грустный видъ. Всѣ молчали, потому что Марина Осиповна сидѣла, упершись

на руки, какъ убитая великимъ горемъ; изъ другихъ комнатъ слышался плескъ, журчанье и шлепанье—тамъ мыли полы. Даже Владиміръ съ Евлампіей сидѣли смирно, поглядывая неопредѣленно то на мать, то на Кузьму, то на Осипа Андреича.

— Не знаю, право, сколько заплатить Зеленихѣ и Ивановой,—сказала какъ будто про себя Марина Осиповна.

— Что жъ имъ платить! Если онѣ готовили кушанья, то вѣроятно ѣли какъ никогда. Онѣ должны быть и за это благодарны. А за мытье половъ можно дать и по десяти копеекъ каждой,—сказала Мареа Антоновна.

— Я думаю дать имъ холста; у меня есть старое, оно уже никуда не годится.

— И прекрасно. А лошадь, я думаю, Ося, намъ не мѣшало бы купить.

— Пожалуй. Только она плохая. Ну, да это ничего; въ селѣ, на вольномъ корму, откормится. Возокъ я тоже непремѣнно возьму. Папаша сказывалъ, что онъ заплатилъ за него тридцать рублей, но я, пожалуй, дамъ десять, потому что много на починку выйдетъ.

— Вамъ, мамаша, будетъ и одной коровы. Подарите мнѣ другую,—сказала Мареа Антоновна.

— Нѣтъ, я ея и не продамъ даже. Покойный говорилъ, что онъ ее дастъ въ приданое Марьѣ Андреевнѣ. А вотъ ужъ если дѣло дошло до продажи и дѣлежа вещей покойнаго, то я думаю, садъ бы можно продать не весь, а по уголъ. Та часть совсѣмъ лишняя.

— Но кто же его купитъ? Къ тому же какъ домъ, такъ и садъ теперь принадлежатъ дѣтямъ папаши. Старшіе же братья и сестры наши живутъ въ разныхъ мѣстахъ, и если не будутъ требовать своихъ долей съ доходовъ, то, въ случаѣ продажи дома или мѣста, потребуютъ свои части...—сказалъ Осипъ Андреичъ.

— Эдакъ мнѣ ничего не достанется.

— Вамъ придется только седьмая часть.

— Мало же я заслужила!—и Марина Осиповна заплакала. Всѣ замолчали.

— Мамаша! Вы отдайте мнѣ халатъ папашинъ. Современемъ я выплачу деньги за него,—сказалъ Кузьма Андреичъ.

— Что вы, Господь съ вами! Вѣдь Андрей Иванычъ въ немъ въ баню ходилъ; его мертваго въ халатѣ принесли,—проговорила съ ужасомъ Марина Осиповна.

— Я не труслив.

— Но я ужъ его отдала Трифону.

— Напрасно. Халатъ, я думаю, стоитъ рублей десять. А сапоги тоже подарили?

— Сапоги я отдала Мирону Иванову.

— Чтобы онъ ихъ пропилъ?

— Онъ не пьяница,—замѣтилъ Осипъ Андреичъ.

— И молодому Иванову тоже дали что-нибудь?—опять спросилъ Кузьма Андреичъ.

— Неужели, по-вашему, я все негодное должна держать въ комнатахъ?—обидѣлась Марина Осиповна.

— Я не думаю, чтобы у папаши было что-нибудь негодное; напримѣръ тюфякъ, что унесъ этотъ мѣщанинишко, могъ бы пригодиться для кого-нибудь и почище его.

— Не мнѣ ли это?

— Полно тебѣ, Кузьма! Ты еще мальчикъ молодой, а суешься не въ свое дѣло,—сказалъ Осипъ Андреичъ и всталъ.

— Нѣтъ, мое дѣло и ваше дѣло. У насъ еще двѣ сестры на возрастѣ, потомъ Володя и Евлаша маленькіе,—горячился Кузьма.

— И тебя не спросятъ, какъ устроить ихъ судьбу,—сказалъ сердито Осипъ Андреичъ.

— Я требую, чтобы всему имѣнію, особенно серебру, была сдѣлана опись, пока мы здѣсь.

Всѣ пришли въ ужасъ; у всѣхъ языки оцѣпенѣли. Марину Осиповну точно обухомъ ударило по головѣ.

— Дуракъ, братъ, ты и больше ничего,—сказалъ Осипъ Андреичъ не своимъ голосомъ.

— Какъ вы учтивы, молодой человѣкъ!—сказала Мареа Антоновна.

Марья Андреевна отъ испуга заплакала.

Марина Осиповна встала, выпрямилась и съ волненіемъ проговорила:

— Покорно благодарю, Кузьма Андреичъ! Покорно благодарю! Чужіе люди выучили васъ добру—нечего сказать... выучили... Что вы, грабить меня намѣрены, что ли? Что же вы молчите?.. Безсовѣстный вы, безсовѣстный.

— Дайте намъ опись...

— Хорошо!! Осипъ Андреичъ! Мареа Антоновна! Марья Андреевна! пожалуйте... Я все покажу... Володя и Евлаша... бѣдные мои!—проговорила рыдая Марина Осиповна и пошла изъ столовой.

— Скотина ты, Кузьма! Помни ты все это, слышишь!!—проговорилъ угрожающимъ голосомъ Осипъ Андреичъ.

— Вы отступитесь?—спросилъ брата Кузьма и всталъ.

— Уѣзжай-ка, братъ, лучше туда, откуда пріѣхалъ,—и Осипъ повернулъ брата къ двери.

— Хорошо.

И Кузьма Андреичъ ушелъ изъ дому.

Долго онъ бродилъ по набережной, стараясь провѣтриться и настроить свои мысли на надлежащій ладъ. Сперва онъ находилъ, что поступилъ честно и благородно; требовалъ онъ не за себя, а за безсловесныхъ сестеръ, которыхъ мачеха могла обидѣть всегда, особенно Дарью, которую онъ очень любилъ и болѣзнь которой относилъ къ вліянію мачехи; потомъ онъ пришелъ къ тому заключенію, что онъ погорячился и ему нужно бы было выжидать. Но и тутъ показалось, что мачеха могла уже все цѣнное запрятать для себя заблаговременно, и поступокъ Осипа Андреича показался ему нехорошимъ. Впрочемъ, отъ Осипа онъ и не ждалъ защиты, такъ какъ тотъ и прежде не любилъ его. Пошелъ онъ къ судьѣ, какъ уѣздному предводителю дворянства, попросилъ его сдѣлать опись имѣнію, но тотъ отказался подъ тѣмъ предлогомъ, что его заявленіе, какъ заявленіе одного члена и притомъ несовершеннолѣтняго, ничего не значитъ; что же касается до части доходовъ съ дома, то онъ будетъ наблюдать за этимъ. Когда

Кузьма сталъ возражать, судья рѣзко замѣтилъ ему, что онъ еще слишкомъ молодъ, чтобы учить людей старше его.

Послѣ обѣда Кузьма Андреичъ уѣхалъ на пароходѣ въ Егорьевскъ, оставивъ мачеху больною въ постели.

Осипъ Андреичъ тоже уѣхалъ домой, а жена его съ дѣтьми осталась ухаживать за больной Мариной Осиповной.

Домъ Яковлева превратился въ больницу.

XIV.

Прошло двѣ недѣли.

Марина Осиповна пролежала только двое сутокъ, а Марѳа Антоновна прожила у нея съ недѣлю, но ей жизнь въ Ильинскѣ такъ опротивѣла, что она рѣшилась съѣздить поразвлечься въ Егорьевскъ, куда и уѣхала, оставивъ у Марины Осиповны дѣтей. Дарья Андреевна начинала выздоравливать, но поправлялась медленно; Анисья Осиповна уже не находила надобности постоянно дежурить при больной и только ежедневно просиживала у нея часа по два, по три. Марья Андреевна скучала, сидѣла молча, вздыхала и часто плакала. Ея женихъ Павловъ пересталъ ходить къ ней, а отъ Зеленихи она узнала, что онъ ходитъ въ домъ состоятельнаго помѣщика Акулова и по всей вѣроятности женится на его единственной дочери, ежели только не воспрепятствуетъ мать невѣсты. Марина Осиповна это тоже узнала и, сообразивъ, что теперь на ея шеѣ находятся двѣ дѣвицы, измѣнила и съ нею прежнія дружескія отношенія.

— Что же вы все это сидите безъ дѣла, точно женишка ждете? Не умѣли хорошенько обходиться съ нимъ, вотъ онъ и не ходитъ, — сказала она однажды Марьѣ Андреевнѣ.

— Виновата развѣ я, мамаша?

— Вы только хохотать умѣете да наряжаться не къ лицу. Ну, что вы теперь будете дѣлать? На что вы способны?

— Ну, чѣмъ же я виновата! Господи!—И она заплакала.

— Вотъ глупая-то дѣвица! — сказала Марина Осиповна и ушла. Марья Андреевна ушла въ дѣтскую, гдѣ Дарья Андреевна сидѣла на кровати и разсматривала вязанье Анисьи Осиповны.

— Ахъ я несчастная, несчастная...—зарыдала Марья Андреевна.

Дарья Андреевна и Анисья Осиповна взглянули на нее, но ничего не сказали. Анисья Осиповна тоже знала объ охлажденіи къ Марьѣ Андреевнѣ ея жениха и сообщила объ этомъ своей подругѣ. Дарья Андреевна уже много знала, но отъ нея еще скрывали смерть отца, а говорили, что онъ уѣхалъ, неизвѣстно зачѣмъ, въ Егорьевскъ.

— О чемъ это вы, Марья Андреевна, плачете? Вѣдь вы скоро замужъ пойдете,—сказала съ улыбкой Анисья Осиповна.

— Охъ! Несчастная я...

— Да въ чемъ дѣло, Маша?—спросила сестру Дарья Андреевна.

— Подлецъ Павловъ... охъ... Вчера встрѣтился со мной и не кланяется. Я ему говорю: «спѣсивы стали. Другую, молъ, вѣрно невѣсту нашли». А онъ—«ну, хоть бы и такъ!», говоритъ.

— Стоитъ объ чемъ печалиться! Вѣдь онъ пьяница, и ты знала это. Неужели тебѣ пріятно жить съ пьяницей?—говорила Дарья Андреевна.

— Да теперь... мачеха...

Анисья Осиповна взглянула на нее и приложила палецъ къ губамъ. Марья Андреевна вышла.

— Ты что-то скрываешь, кажется?—спросила Анисью Осиповну Дарья Андреевна съ полуиспугомъ.

— Какая ты нынче недовѣрчивая стала. Все дѣло въ томъ, что Марина Осиповна теперь грызетъ ее за то, что она только весь день наряжается и торчитъ въ бесѣдкѣ, а Павловъ не ходитъ. А ты знаешь, что Марья Андреевна не спуститъ. Ну, вотъ у нихъ ссоры и драки; я думаю, что у Марьи Андреевны порядочно выдергано волосъ.

— Что же это папаша не ѣдетъ?

— Я слышала, что онъ захворалъ тамъ.

Дарья Андреевна легла и долго молчала. Анисья Осиповна развлекала ее часа два и ушла, когда она заснула.

— Пожалуйста, Марина Осиповна, ты не говори Дашѣ объ Андреѣ Иванычѣ. Она еще слаба и не вынесетъ, пожалуй. Я ей сказала, что отецъ боленъ, и едва-едва успокоила. Послѣ, какъ совсѣмъ выздоровѣетъ, тогда можно сказать прямо да и къ тому времени она много передумаетъ и ей не такъ тяжело будетъ услышать грустное извѣстіе, — просила Анисья Осиповна сестру.

— Сказать придется, пожалуй, скоро, потому что завтра суды наши съѣзжаютъ отъ насъ. Она услышитъ возню,—сказала Марина Осиповна.

— Ну, я завтра приду пораньше.

Подошедши къ своему дому, Анисья Осиповна увидала у подъѣзда солдата съ ружьемъ, ходящаго отъ подъѣзда до угла. Въ прихожей наверху тоже сидѣлъ солдатъ. Анисья Осиповна испугалась.

Вѣра Петровна плакала, а Викторъ Осиповичъ, лежа на диванѣ, хладнокровно курилъ сигару.

— Что такое, мамаша?—спросила Анисья Осиповна Вѣру Петровну.

— Охъ!—только сказала Вѣра Петровна и развела руками, продолжая плакать.

— Отца арестовали,—сказалъ Викторъ Осиповичъ съ неудовольствіемъ.

— Гдѣ отецъ?

— Тамъ,—Викторъ Осиповичъ указалъ на дверь, ведущую въ другія комнаты и въ кабинетъ Зиновьева.

Анисья Осиповна ушла въ кабинетъ.

Осипъ Флорычъ лежалъ на кровати въ кафтанѣ и смотрѣлъ въ потолокъ.

— Долго ли ты станешь шататься изъ дому? Сколько времени ходишь и не могла меня до сихъ поръ предупредить, что противъ меня каверзы затѣваются,—проговорилъ сердито Осипъ Флорычъ.

— Я ничего не слыхала, я постоянно съ Дашей была.

— У васъ всегда отговорки. Вы рады, что отецъ

погибаетъ. Вонъ тамъ солдатъ поставили, да это пустяки, они меня не проведутъ. Онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Дочь, ты любишь меня?—спросилъ онъ вдругъ дочь.

— Вы знаете, что я васъ люблю.

— Ну, этого не замѣтно; а вотъ я тебя люблю... только ты этого не чувствуешь. Сядь сюда.

Онъ сѣлъ въ кресло и, подвинувъ стулъ для дочери, началъ шопотомъ.

— Меня обвиняютъ въ сокрытіи какого-то убійства. Назадъ тому пять лѣтъ нашли на дорогѣ убитымъ одного мѣщанинишка. Этотъ мѣщанинъ хотѣлъ на меня донести, что я муку поставляю съ пескомъ. Экую новость открыли! Всѣ это знали, и я это грѣхомъ не считаю, потому что пріемщики по закону должны отвѣчать; я имъ денежку плачу. А мѣщанинъ этотъ былъ золъ на меня за то, что я отказалъ ему отъ службы: вотъ онъ и сталъ наговаривать на меня всѣмъ, что я воръ и прочее. А тутъ я узналъ, что онъ намѣревается идти въ Егорьевскъ жаловаться на меня по начальству. И какая же онъ шельма! стали складывать кули на телѣги, а онъ трется около магазиновъ, а потомъ я узналъ стороной, что онъ хочетъ идти слѣдомъ за возами... Разумѣется, я сказалъ молодцамъ, чтобъ они опасались мѣщанина, а въ случаѣ чего, такъ и...

— Неужели?—съ ужасомъ перебила дочь.

— Молчи, я не приказывалъ того... Только вышло, что дорогой приказчикъ поспорилъ съ нимъ, потомъ напоилъ въ кабакѣ водкой, усадилъ его на возъ, онъ слетѣлъ съ возу и расшибся. Тѣмъ дѣло и кончилось. Сказали на слѣдствіи, что самъ убился; на слѣдствіи былъ и стряпчій и лѣкарь—все какъ слѣдуетъ. Приказчикъ этотъ померъ, только передъ смертью чортъ его угораздилъ сказать женѣ, что онъ мѣщанина зарубилъ, и будто приказалъ я... Жена молчала долго; потомъ, когда ей нечего стало жрать, она и стала требовать отъ меня денегъ. Я не сталъ давать—съ какой стати! Вотъ она донесла на меня, только успѣла ужъ издохнуть. Теперь и стали меня подозрѣвать, не я ли отравилъ ее. Чиновникъ, что былъ на похоронахъ у Яковлева, ужъ давно присылалъ мнѣ какія-то бумаги по этому дѣлу, но я отвѣчалъ, что это дѣло ужъ кончено; онъ требовалъ меня къ себѣ; я ему далъ денегъ—онъ взялъ, а вчера прислалъ мнѣ двѣ тетрадки: въ одной спрашиваетъ, на какой предметъ я далъ ему пятьсотъ рублей, не хотѣлъ ли я подкупить чиновника, а въ другой такая чепуха, страсть! Только есть въ этой тетрадкѣ такой вопросъ: знакомъ ли я съ канцеляристомъ Петровымъ и не давалъ ли ему порученій...

— Гдѣ этотъ Петровъ?

— Здѣсь живетъ пьяница. Онъ писалъ Соломкиной прошеніе и пилъ съ ней въ кабакѣ водку. Отъ водки она и померла... И эта бестія теперь говоритъ, что онъ будто получилъ отъ меня какой-то порошокъ и думалъ, что соль, взялъ да и всыпалъ его въ рюмку пьяной Соломкиной.

Дочь сидѣла блѣдная; ее пробирала дрожь.

— Ты не бойся, противъ меня нѣтъ никакихъ уликъ и я ни въ чемъ не виноватъ. Вотъ тебѣ пакетъ. Мнѣ хранить его нельзя, потому что меня совсѣмъ подрѣзали на подрядахъ; за мной считаютъ какіе-то долги... Теперь я бѣдный... Здѣсь все... Раздѣлите все вмѣстѣ...

Въ кабинетъ заглянулъ солдатъ и унтеръ-офицеръ.

— Это они смотрятъ, тутъ ли я.

— Что жъ я буду дѣлать съ конвертомъ?

— Спрячь до поры до времени, а мнѣ держать негдѣ. Меня, можетъ-быть, и обыскивать будутъ.

Анисья Осиповна заплакала; но въ кабинетъ вошелъ чиновникъ особыхъ порученій, стряпчій и депутатъ отъ купечества; Анисьѣ Осиповнѣ велѣли выйти. Когда она вышла изъ кабинета, то наткнулась на Вѣру Петровну, которая намѣревалась стать у дверей и слушать, о чемъ будутъ говорить вошедшіе туда.

— Что тебѣ говорилъ Осипъ Флорычъ?—спросила она Анисью Осиповну.

— Особеннаго ничего... Пойдемъ же туда, въ комнаты.

— Я хочу послушать.

— Нехорошо. Еще кто-нибудь отворитъ дверь и замѣтитъ васъ.

Анисья Осиповна не знала, что ей дѣлать съ пакетомъ. Отдать ли его теперь мачехѣ или куда-нибудь спрятать. Но если отдать, то мачеха пожалуй забудетъ спрятать его, и тогда Викторъ Осиповичъ можетъ утащить его; спрятать некуда, потому что могли, пожалуй, сдѣлать обыскъ и у нея. Посовѣтоваться съ Вѣрой Петровной Анисья Осиповна считала безполезнымъ на томъ основаніи, что отъ нея и прежде трудно было добиться какого-нибудь дѣльнаго совѣта. Она рѣшилась сходить къ протопопу Третьякову.

Сергѣй Иванычъ сидѣлъ у окна въ средней комнатѣ съ обклеенными обоями стѣнами, на которыхъ висѣли зеркала и картины, изображающія архіереевъ и генераловъ; полъ устланъ коврами, на окнахъ и у оконъ стоятъ цвѣты, а вдоль стѣны, выходящей на улицу, по потолку тянется плющъ; около дверей тоже тянется по палочкамъ плющъ. Здѣсь много мебели, такъ что хотя въ комнатѣ и три окна, но она кажется небольшою, въ ней пахнетъ чѣмъ-то похожимъ на смѣсь резеды съ ладономъ, въ ней немножко темно, скучно и замѣчается отсутствіе жизни. Сергѣй Иванычъ сидѣлъ у окна въ сѣромъ старомъ подрясникѣ и читалъ книгу, причемъ на носу его торчали очки въ мѣдной оправѣ.

— Анисья Осиповна!.. Какими это судьбами?—проговорилъ старикъ, увидя вошедшую дѣвушку, всталъ, подошелъ къ ней и по обыкновенію перекрестилъ.

— Садись! садись... Татьяна Ѳедоровна!..—суетился старикъ, держа въ одной рукѣ очки.

— Вы не суетитесь, дѣдушка, ничего не надо.

— Ну, какъ! Я еще самъ не пилъ чаю. Ну, каково здоровье вашихъ? Какъ моя Дашечка поправляется?

— Даша поправляется.

— Слава Богу, слава Богу. Я было побаивался—какъ бы она да не умерла безъ покаянія. Ну, а отецъ?

— Ахъ, дѣдушка, бѣда случилась съ нами.

— Слышалъ. Говорятъ, караулъ приставили.

— Да. Нельзя ли, дѣдушка, сдѣлать такъ, чтобы не было этого караула?

— Я съѣзжу къ этому чиновнику, попрошу его... Я еще не знаю подробно, въ чемъ дѣло.

— Онъ мнѣ кое-что сказалъ.—И Анисья Осиповна передала старику разсказъ отца и отдала ему пакетъ.

— Эхъ Осипъ, Осипъ!.. Да, дѣло плохое, если пойдетъ по нынѣшнимъ порядкамъ. Нехорошо.

— Что же ему сдѣлаютъ?

— Могутъ много худого сдѣлать, если только онъ не вывернется... Ты пойди къ Татьянѣ Ѳедоровнѣ, скажи, чтобы она велѣла Андрею закладывать лошадь.

Татьяна Ѳедоровна сидѣла въ комнаткѣ, выходящей во дворъ, у окна, которое было отперто. Она вязала чулокъ, передъ нею на столѣ открытая книжка, которую она впрочемъ не читала, а смотрѣла въ окно на курицъ и индѣекъ, часто вскрикивая на нихъ. Она разспросила о здоровьѣ Яковлевыхъ и ея отца, спросила о причинѣ ареста Осипа Флорыча и замолчала. Когда уѣхалъ протопопъ, сдѣлалось такъ скучно, что если бы не дѣло отца, то Анисья Осиповна убѣжала бы. Вообще Татьяна Ѳедоровна женщина неразговорчивая да и едва ли могла о чемъ-нибудь, кромѣ хозяйства, думать. Анисья Осиповна заводила разговоръ съ разныхъ предметовъ, но Татьяна Ѳедоровна или охала, или смотрѣла въ окно. Посидѣла Анисья Осиповна съ четверть часа около молчаливой старушки, и это время показалось ей часомъ. Невозмутимость и апатія старухи какимъ-то холодомъ вѣяли на Анисью Осиповну и она думала: «неужели подъ старость и я буду такая? Отчего это произошло въ ней?..» А довело Татьяну Ѳедоровну до такого состоянія множество причинъ. Ей какъ-то удалось прожить много лѣтъ не полюбивъ мужчины, приходилось завидовать счастью женщинъ, радоваться горю женъ. Потомъ пошли разныя потери; подруги умирали, она старѣлась, ей оставалось мирно кончать свою жизнь. Ей не нравились развлеченія, она полюбила однообразіе, сдѣлалась молчалива, и все ея соображеніе шло на заботу объ экономіи; когда же, во время болѣзни, ей приходила мысль о смерти, тогда она все земное считала прахомъ, но у здоровой жадность къ деньгамъ, къ скопленію бездѣлушекъ и скупость—составляли для нея наслажденіе. Анисья Осиповна ушла въ залу, гдѣ прежде сидѣлъ Сергѣй Иванычъ; взяла-было со стола книгу, которую читалъ протопопъ, и положила назадъ. Походила по комнатѣ,—скучно, тяжедо, тихо такъ, что изъ другой комнаты слышно тиканье часовъ. Встала она у окна и задумалась; ей стало грустно, сердце ея щемило, къ глазамъ подступали слезы. А на улицѣ было хорошо: небо голубое, чистое, заходящее солнце золотитъ стекла въ окнахъ, деревья кажутся ярче, чѣмъ днемъ, а бѣлые листья американскаго тополя такъ и блестятъ. На улицѣ жизнь: посреди дороги играютъ ребята, у домовъ сидятъ мѣщанки, перехаживаютъ съ мѣста на мѣсто мужчины въ ситцевыхъ рубахахъ съ трубками въ зубахъ и безъ трубокъ; около нихъ бродятъ собаки, помахивая хвостами, кое-гдѣ по заплоту крадется къ воробышку котенокъ. Зато никто здѣсь не проѣдетъ. Всѣ разсуждаютъ громко, одни о дороговизнѣ, о безденежьѣ, другіе о слѣдствіи надъ Зиновьевымъ. Отовсюду слышится имя Зиновьева, приправляемое различными чисто-русскими эпитетами... Голова закружилась у Анисьи Осиповны отъ людскихъ пересудовъ, которые даже и ее ни во что ставятъ; больно ей сдѣлалось, и она горько заплакала.

— Въ самомъ дѣлѣ, что мнѣ жить здѣсь? Пойду куда-нибудь.

Но куда и зачѣмъ—она не могла придумать.

Пріѣхалъ протопопъ. Прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ.

— Дѣла—дѣла!—какъ сажа бѣла, — сказалъ онъ и сѣлъ.

— Что же. Нельзя, говоритъ, снять арестъ... Я сталъ просить, — умаливать — онъ меня стыдить. А потомъ сказалъ мнѣ: «некогда!» и ушелъ. Грубіянъ! каналья!—говорилъ задыхающимся голосомъ протопопъ. Успокоившись немного, онъ продолжалъ:—Поѣхалъ къ исправнику. Тотъ тоже въ печали. Плохо, говорилъ, будетъ всѣмъ. Отъ него я узналъ, что домъ отъ Осипа отберутъ за долги, а Маринѣ и дѣтямъ Яковлева пенсіи не будетъ, потому что и покойный Андрей снова притянутъ къ суду.

— Что же мнѣ-то дѣлать, дѣдушка?

— Богу молиться надо—одно утѣшеніе. Я вотъ ужо напишу Ипполиту Аполлоновичу, чтобы онъ тебѣ женишка пріискалъ. А такъ жить нельзя: въ пакетѣ, что отдала мнѣ на сохраненіе, вѣроятно, сумма небольшая. Домъ отберутъ, такъ вамъ надо будетъ квартиру-то нанять. Ну, да я васъ пущу къ себѣ, только Виктора мнѣ не надо. Я ужо поговорю кое-кому о томъ, чтобы его хоть въ приказчики взяли. Ты пила чай?

— Нѣтъ, благодарю... Мнѣ надо навѣстить Дашу.

Она ушла пѣшкомъ, не согласившись проѣхаться въ дрожкахъ протопопа. Народъ, сидящій у своихъ калитокъ, уже вяло разговаривалъ, часто зѣвая; родители звали дѣтей домой съ бранью, потому что тѣ готовы были играть хотя бы всю ночь; кое-гдѣ появились караульные съ трещотками и толстыми палками въ рукахъ. И много пришлось Анисьѣ Осиповнѣ услышать нелестныхъ замѣчаній и остротъ, отпускаемыхъ ей безъ всякаго стѣсненія какъ большими, такъ и ребятами; и хотя она была дѣвушка нетрусливая, но у нея заболѣла голова; ей не вѣрилось, что она видитъ и слышитъ горожанъ, съ такимъ презрѣніемъ разсуждающихъ о ней; ей хотѣлось, чтобы все это, и разговоры, и ядовитыя улыбки, и насмѣшливые взгляды, и позы показались ей сномъ. Но это была дѣйствительность.

Вонъ и домъ видно; часовой ходитъ съ ружьемъ. Съ одной скамейки встаетъ лысый, худощавый мѣщанинъ съ жесткими черными руками. Его пошатываетъ.

— Отстань,—унимаетъ его женщина.

— Знаю! — отвѣчаетъ онъ. И подходитъ къ Анисьѣ Осиповнѣ.

— Наше почтеніе, барышня! Сорокъ-два съ кисточкой!—говоритъ онъ и протягиваетъ ей ладонь.

Анисья Осиповна хочетъ пройти.

— Заважничались, барышня, только не кстати,

потому, значится, къ примѣру, съ тятенькой вашимъ нехорошо.

— Отстань! Ты еще попадешься: развѣ не видишь, какая ему нонѣ честь—солдаты его стерегутъ,—говоритъ другой мѣщанинъ.

— Много вамъ, барышня, благодарны за гривенки, что вы съ вашей покойной мамашей помогали намъ. Только напрасно вы безпокоились, потому теперь, говорятъ, вамъ самимъ придется положить зубы на полку. Не разочли!

— Эка! Будто онѣ не понимаютъ, что собрать съ насъ деньги—куды какъ легко, только исполнить то; на что капиталы собраны, труднѣе, чѣмъ подать милостынку.

— Да развѣ я виновата? Отецъ виноватъ, ему говорите! — сказала Анисья Осиповна со слезами.

— Оставьте ее!.. И впрямь она безвинна.

— Одного поля ягода.

На другой день весь Ильинскъ всполошился: Зиновьевъ убѣжалъ; Зиновьева не могли укараулить солдаты, и не видали сторожившіе свои дома домовладѣльцы. Народъ толпился передъ домомъ Зиновьева, точно тамъ совершилось какое-то чудо. Всѣ дивились смѣтливости Зиновьева и никакъ не могли рѣшить, куда онъ могъ уйти изъ такого небольшого города; но были и такіе, которые не вѣрили, чтобы Зиновьевъ могъ уйти изъ города, а утверждали, что онъ гдѣ-нибудь спрятался. Начальство тоже всполошилось; обыскало оно домъ какъ Зиновьева, такъ и Яковлева, обыскало почти всѣ сады въ городѣ, амбары, шныряло въ проходахъ между кладью — нигдѣ нѣтъ Зиновьева. Тогда еще въ Ильинскѣ не было телеграфа, поэтому посланы были гонцы по всѣмъ дорогамъ, и съ трактовой узнали, что Зиновьевъ уѣхалъ на почтовыхъ въ Егорьевскъ. Черезъ недѣлю получено и изъ Егорьевска извѣстіе, что Зиновьева на другой день послѣ исчезновенія его изъ Ильинска многіе видѣли, и онъ даже былъ у Ипполита Аполлоновича; потомъ онъ, какъ ключъ, словно въ воду канулъ.

Одна только Анисья Осиповна видѣла, какъ онъ спускался внизъ изъ столовой, изъ который былъ сдѣланъ ходъ въ кухню. Онъ былъ въ тепломъ кафтанѣ, въ теплой фуражкѣ, подъ лѣвой мышкой у него былъ сакъ-вояжъ, а въ правой рукѣ онъ держалъ трость съ стальнымъ набалдачникомъ. Это было часу во второмъ ночи, когда въ домѣ спали всѣ, даже и часовой, сидѣвшій въ прихожей, только одна Анисья Осиповна не спала. Спальня находилась рядомъ со столовой, и поэтому она, услышавъ шорохъ, вышла со свѣчой въ столовую.

— Вы куда, папаша?—спросила она отца шопотомъ отъ испуга.

— Въ садъ,—отвѣчалъ онъ.

— А сакъ-вояжъ?

— Молчи!..

И онъ, погрозивъ ей палкой, спустился внизъ.

Въ кухнѣ никого не было, потому что кучеръ еще вечеромъ увезъ, при смѣхѣ и остротахъ мѣщанъ, возокъ за городъ въ кузницу, чтобы починить одно колесо, и затѣмъ не являлся ни съ возкомъ, ни съ лошадьми, а кухарка спала въ сѣняхъ. Слышала Анисья Осиповна, какъ отецъ отпиралъ въ кухнѣ окно, потомъ заперъ его; слышала, какъ залаяла-было собака, но скоро затихла; а по скрипу двери, ведущей въ огородъ, она поняла, что онъ ушелъ въ садъ. Но на спросы слѣдователя она сказала, что спала и хватилась отца утромъ. Стали искать кучера и нашли въ селѣ, недалеко отъ Егорьевска. Но и онъ отозвался незнаніемъ; кузнецъ же показалъ, что у кузницы дѣйствительно стоялъ возокъ и были привязаны двѣ лошади Зиновьева; потомъ и кучеръ Зиновьева куда-то исчезъ и больше не являлся, а ночью и возокъ съ лошадьми укралъ кто-то.

XV.

Прошло еще двѣ недѣли. Къ началу третьей Дарья Андреевна уже настолько выздоровѣла, что стала выходить изъ дому. Теперь она уже знала о смерти отца; сперва, конечно, поплакала, но потомъ успокоилась. Теперь она была свободна, задерживать дольше ее здѣсь некому, но у нея явилась робость вслѣдствіе неокрѣпшаго еще организма. «Я слаба, передо мною открывается широкая дорога — идти хоть куда, но вынесу ли я трудовую жизнь?». Ей думалось, что прежде ей дѣйствительно не предстояло надобности жить работой, потому что она могла жить подъ видомъ гостьи у родни, которой много, и въ пріютѣ ей никто бы не отказалъ; но теперь обстоятельства измѣнились. Братъ Осипъ писалъ ей: «если тебѣ не скучно—пріѣзжай ко мнѣ, только объ одномъ прошу: будь повѣжливѣе съ моей женой и не отказывайся помогать ей въ чемъ-нибудь; теперь тебѣ придется жить поскромнѣе». Дядя Ипполитъ Аполлонычъ тоже звалъ ее къ себѣ, но съ тѣмъ, чтобы она слушалась его жены, которая за это, пожалуй, будетъ обходиться съ нею, какъ съ родною дочерью. Братъ Кузьма совѣтовалъ жить у дѣдушки Сергѣя Иваныча, но племянницѣ его, Татьянѣ Ѳедоровнѣ, никакъ не хотѣлось, чтобы она жила у нихъ Такъ что теперь приходилось дѣйствительно выбирать что-нибудь: или согласиться на приглашенія старшаго брата или дяди, жить у нихъ и во всемъ повиноваться имъ, или самой заняться какой-нибудь работой. Пуститься на первое Дарья Андреевна не могла, потому что ей и прежде было противно жить у родни и слушать ихъ хвастовство о благодѣяніи ближнему,—остается поступить куда-нибудь въ магазинъ. Но тутъ вспомнились ей слова швей о тяжеломъ житьѣ, и во всей ясности представилось положеніе бѣдной швеи, на которую богатые люди смотрятъ съ презрѣніемъ — что высказывалъ также и ея отецъ; представились ссоры изъ-за работы и платы съ швеями, насмѣшки, навязчивость и циническія выходки молодежи, непонимающей положенія бѣдной дѣвушки и всегда поэтому готовой на скандалы. «Тогда, если бы мнѣ было тяжело, я пошла бы къ отцу; уговорила бы его...», думала она; но ей сдѣлалось стыдно своей трусливости: «тогда бы я вполнѣ отдалась на волю отца. Нѣтъ, надо уѣхать отсюда и заняться чѣмъ-нибудь. Вѣдь живутъ же работой

дѣвицы и слабѣе меня. А жить въ домѣ я не могу больше,—здѣсь все измѣнилось».

Дѣйствительно, въ это время многое измѣнилось. Суды изъ дома выѣхали, низъ былъ пустой, только одинъ сторожъ-старикъ, Николай, пріютился въ прихожей одного изъ бывшихъ судовъ. Какъ его ни уговаривали перейти сторожемъ въ судъ, онъ сказалъ: «покуда барышня, Дарья Андреевна, жива, по тѣхъ поръ не уйду изъ дому».

— А если и ея не будетъ?—спрашивали его.

— Ну, что жъ, при домѣ останусь, караулить стану, а кусокъ-то хлѣба у нихъ найдется.

И онъ постоянно былъ при дѣлѣ. Теперь не было лошади, не было Трифона и кухарки, корову одну Марина Осиповна продала, такъ что Николай исполнялъ должность кухарки или работника не хуже любой кухарки, и за это его кормили въ кухнѣ остатками кушаньевъ. Марина Осиповна осунулась, краска на лицѣ исчезла, у ней явились заботы; она больше молчала, тяжело вздыхала и старалась быть экономнѣе. Хорошо еще, что у нея были свои деньги, а то ей и семейству пришлось бы продавать за безцѣнокъ вещи. Горе ли, постигшее Марину Осиповну, или раскаяніе въ томъ, что она нехорошо поступала съ падчерицей, или что другое, только теперь Марина Осиповна обращалась съ Дарьей Андреевной, какъ съ родной дочерью: она уговаривала Дарью Андреевну не выходить на дворъ въ дождь, не сидѣть долго за работой, уговаривала ее ѣсть больше, раньше ложиться спать; словомъ, она не походила на прежнюю злую мачеху, что удивляло Дарью Андреевну и приводило въ злость ея сестру. Но Дарья Андреевна относила это къ ея ханжеству и, зная ее, она думала, что пусть только поправятся обстоятельства, мачеха еще хуже будетъ ее грызть за свои нѣжности и попрекать сиротствомъ. Вѣра Петровна съ Анисьей Осиповной жили въ Никольскомъ у священника Петропавловскаго, которому духовное начальство снова разрѣшило открыть школу для дѣтей, запретивъ воскресныя собранія. Домъ Зиновьева стоялъ съ заколоченными окнами и взятъ въ казну подъ опеку. Все это Дарья Андреевна видѣла, все это давило ее, и она твердо рѣшилась черезъ недѣлю непремѣнно отправиться въ Егорьевскъ. Хотя Анисья Осиповна и звала ее въ Никольское, но ей незнакомъ былъ хваленый ея подругой священникъ Петропавловскій; жить ей безъ дѣла у него не хотѣлось; учить ребятъ — она призванія не чувствовала. Печальна стала и Марья Андреевна: Павловъ считался уже формально женихомъ мѣщанской дѣвицы Акуловой и часто прогуливался съ ней мимо Яковлевскаго дома, а Николай говорилъ, что Павловъ всѣмъ говоритъ о Марьѣ Андреевнѣ, какъ о дурѣ; возлюбленный ея писецъ изъ суда тоже далъ гягу; мачеха смотритъ на нее косо, а если она за обѣдомъ хочетъ налить себѣ еще другую тарелку щей или супу, то мачеха останавливаетъ ее, говоря: оставьте къ вечеру; можетъ-быть, дѣти захотятъ, да вѣдь и старикъ Николай хочетъ ѣсть. Сперва Марья Андреевна огрызалась, но когда Марина Осиповна однажды сказала ей, что ее даже Осипъ Андреичъ не соглашается держать у себя, потому что она много ѣстъ, Марья Андреевна стала молчать, плакать о своемъ горѣ и послѣ обѣда уходила спать, а вечеромъ гуляла на набережной.

Разъ Дарья Андреевна возвращалась отъ протопопа Третьякова. Навстрѣчу ей попался Василій Миронычъ, который несъ сапоги, положивъ ихъ на плечо.

— Что съ вашей сестрой дѣлается? Сейчасъ я шелъ изъ кабака «Перепутье»—носилъ сапоги, да тѣсны вышли; такъ иду я по набережной и вижу: Марья Андреевна сидитъ на скамейкѣ, а около нея сидятъ двое приказныхъ.

— Не можетъ быть.

— Сами посмотрите. Я было хотѣлъ подойти, да только мнѣ что за дѣло.

— Я пойду...

— Ну, вотъ еще! Вы придете, васъ обругаютъ развѣ у приказныхъ много стыда... А вы, что же раздумали вѣрно работой-то заняться?

— Нѣтъ, я поѣду въ Егорьевскъ, только поправлюсь.

— Ну, если будете все поправляться, такъ изъ васъ праху не выйдетъ.

— Какъ такъ?

— А такъ, что не осилите. День проработаете, да два будете хворать. А это ужъ не работа; вы только другимъ будете въ тягость. Вамъ еще много нужно пережить до того, чтобы привыкнуть къ работѣ; вамъ нужно, какъ видно, легкое дѣло, — чтобы все шло шутя, потому что вы барышня, у васъ тѣлосложеніе нѣжное.

— Постараюсь привыкнуть.

— Это легко сказать. Нашъ братъ съ дѣтства выросъ въ нищетѣ, сколько видѣлъ горя, кажется, на всякую тяжелую работу годенъ, а иной разъ бываетъ такъ скверно, что все бы бросилъ да бѣжалъ куда-нибудь. Одно средство остается вамъ— выходить замужъ.

— Опять вы за свое! Ну, что вамъ за охота! Вы вѣрно забыли... помните, при громѣ?..

— Мало ли что было.

— Значитъ вы обманывали, книжками меня завлекли.

— Нѣтъ... не то... А то, что вы теперь въ такомъ положеніи.

— Въ какомъ?

— Я не говорю о вашей роднѣ того, что говорятъ въ городѣ,—нѣтъ, не это, но намъ право лучше было бы, если бы мы не видѣлись. Это вы поймете послѣ, когда побольше поживете... Согласитесь, между нами есть много разницы: я мѣщанинъ, а вы все-таки чиновническая дочь.

Они разошлись.

«Такъ вотъ онъ какой! А я его такъ любила, такъ привыкла къ нему; онъ такой былъ добрый и не походилъ на другихъ. Теперь оказывается, что онъ просто игралъ со мной и до сихъ поръ не понялъ меня. Впрочемъ, онъ правъ: кто знаетъ, что бы вышло изъ того, если бы я вышла за него замужъ? Я еще мало знаю людей».

Теперь она чувствовала себя спокойнѣе, свободнѣе и бодрѣе; на душѣ было легко.

«Съ нимъ все кончено. Теперь я свободна, а то все что-то удерживало меня здѣсь». Она ушла къ повивальной бабкѣ Марьѣ Васильевнѣ Дурышкиной, жившей въ небольшомъ мѣщанскомъ домѣ. Она у нея не бывала, а теперь рѣшилась познакомиться съ ней и посовѣтоваться.

— Извините, что я васъ безпокою. Я дочь умершаго виннаго пристава Яковлева—отрекомендовалась Дарья Андреевна Дурышкиной.

— Я васъ видѣла третьяго дня въ церкви... Знаю, знаю... Прошу садиться. Хотите кофе?

— Благодарю. Я къ вамъ пришла за совѣтомъ.

— О! это еще не уйдетъ!.. Я такъ рада, что вы пришли. Здѣсь такъ скучно, ужасъ! сперва было я познакомилась кое съ кѣмъ, но оказалось, что это все пустые люди. Какая глушь! Такъ бы и убѣжала...

Она засуетилась. Скоро появился кофе.

— Люди пьютъ чай, а я кофе, потому что кофе питательнѣе. Я въ Петербургѣ одинъ годъ почти только имъ и питалась... Сперва мнѣ здѣсь хорошо было жить, такъ что я устраивала вечера для того, чтобы завести знакомства, а черезъ него и практику, только я ошиблась: мужчины, какъ я замѣтила, рады провести время съ женщиной, попить, поѣсть, а дамы стали злиться, что я будто развратничаю. Меня перестали приглашать, и дошло до того, что я теперь вотъ уже съ полгода, какъ ни у кого не принимаю, живу жалованьемъ.

— Вы бы въ другое мѣсто перешли.

— Просила врачебную управу и инспектора, и вотъ уже пятый мѣсяцъ не могу получить отвѣта.

— А что, Марья Васильевна, могу я выучиться вашему занятію? — спросила хозяйку Дарья Андреевна.

— Можете; только вы много горя испытаете прежде, чѣмъ получите дипломъ. Нужно непремѣнно имѣть свои средства, чтобы сперва внести за ученіе деньги; потомъ надо, чтобы жить чѣмъ-нибудь два года.

— А много нужно?

— Если вы будете учиться тамъ, гдѣ есть университетъ, а не въ Петербургѣ, то еще ничего, но Петербургъ—это другое дѣло. Это прорва. Но самое главное—это, что вы молоды. Васъ не примутъ. Нужно по крайней мѣрѣ подождать два года. У васъ есть знакомые въ Петербургѣ?

— Нѣтъ.

— Ну, значитъ и ѣздить туда не слѣдуетъ... Видите что: есть вещи, которыя высказывать даже стыдно, но въ жизни бываютъ такія обстоятельства, что наша братья невольно, даже можно сказать съ отчаянія хватается, очертя голову, за послѣднее средство. Это средство нехорошо, но дѣлать нечего. Да вотъ хоть бы я. Я пріѣхала въ Петербургъ съ дядей. Онъ былъ вольноотпущенный, поступилъ къ одному трактирщику въ буфетчики. Трактирщикъ взялъ съ него залогъ, обѣщался платить хорошее жалованье. Прошелъ мѣсяцъ; торговля идетъ плохо, самъ трактирщикъ то и дѣло беретъ изъ выручки деньги, такъ что дошло до того, что нечѣмъ былъ платить половымъ. Дошло до того, что трактирщика посадили въ полицію, посуду и все, что было въ трактирѣ, отобрали отъ него вмѣстѣ съ трактиромъ и дядю прогнали, потому что трактирщикъ говорилъ всѣмъ, что его разорилъ буфетчикъ. Я жила кое-гдѣ въ горничныхъ, но нигдѣ не могла ужиться: или барыни были не хороши, или отъ мужчинъ не было покою. Когда дядя вышелъ изъ буфетчиковъ, то мы наняли комнату и стали жить вмѣстѣ; я кое на кого шила, а дядя игралъ на бильярдѣ; иногда выигрывалъ, но больше проигрывалъ; сталъ пьянствовать, буянить и, наконецъ, спился совсѣмъ и пустился во всѣ тяжкія, такъ что мнѣ пришлось скрываться отъ него. Наняла я за пять рублей комнату и стала жить одна. Тяжело было жить: нужно и за квартиру отдать, пить, ѣсть, сапоги купить, а работы мало... Много было мужчинъ, которые предлагали мнѣ деньги... я не рѣшалась... Мнѣ хотѣлось выйти замужъ по закону, но тамъ такихъ дураковъ мало... Выдался такой мѣсяцъ, что я впала въ отчаяніе: пришелъ безъ меня дядя, унесъ взятое мною отъ одной барыни шитье и скрылся. Какъ я ни увѣряла барыню, что шитье украли, она стала взыскивать пятнадцать рублей, а тамъ требуютъ за квартиру, за прошедшій мѣсяцъ. А тутъ подвернулся молодой приказчикъ... Деньги я уплатила и годъ жила хорошо, то есть была сыта и одѣта, а большихъ денегъ не было. Родила я мальчика; мой мужъ—хотя и незаконный, всеже мужъ: мы вмѣстѣ жили—сталъ хворать. Стала я думать, что̀ будетъ со мною и съ ребенкомъ, если мужъ умретъ. Въ это хорошее время у меня много было знакомыхъ женщинъ такихъ же, какъ и я, были тоже и акушерки, и ученицы изъ института. вотъ онѣ и посовѣтовали мнѣ учиться,—«кусокъ хлѣба будетъ, говорятъ. Уѣдешь въ провинцію—свой хлѣбъ будетъ». Ну, я и поступила. Мужъ умеръ въ больницѣ, но у меня были знакомые, я ходила въ клубы, въ маскарады—одинъ угоститъ, другой на извозчика дастъ; завела другого мужа, но ему не нравился мой ребенокъ и онъ проходилъ съ полгода, а потомъ и отсталъ. Умеръ ребенокъ, я стала свободна, могла попрежнему заниматься шитьемъ и случалось зарабатывала порядочно. А тутъ кончила курсъ, подала прошеніе и уѣхала въ провинцію.. Трудно, трудно, Дарья Андреевна, нашему брату, вездѣ трудно. Еще другое дѣло, если бы я хотя гдѣ-нибудь въ пансіонѣ училась,—тогда я могла бы дѣтей учить, а то и теперь пишу, какъ Макарка огаркомъ.

— Не знаю, что и дѣлать мнѣ, Марья Васильевна. А больно мнѣ хочется самой жить.

— Что жъ, дѣло хорошее. Если умѣете шить, познакомьтесь съ мастерицами изъ магазиновъ и поступайте въ магазинъ. На чиновничество смотрѣть нечего—оно пользы не приноситъ. Въ нашемъ званіи дѣвушкѣ тогда хорошо, когда она имѣетъ капиталъ, съ которымъ можетъ по своему вкусу выбрать жениха, а безъ денегъ жениха нынче не скоро найдешь.

Онѣ разстались пріятельницами. Марья Васильевна приглашала ее приходить къ ней, когда угодно, но отъ приглашенія Дарьи Андреевны приходить къ нимъ отказалась, потому что она не любитъ Марину Осиповну, какъ одну изъ дамъ, повредившихъ ея репутаціи и практикѣ.

Разговоръ съ Марьей Васильевной подѣйствовалъ на Дарью Андреевну непріятно, такъ что она отложила мысль учиться повивальному искусству до болѣе благопріятнаго случая. Ей нравился совѣтъ поступить въ магазинъ, но на какія деньги она поѣдетъ туда? Есть у нея два шелковыхъ платья, драповое пальто и лисій салопъ, но кому ихъ продашь въ Ильинскѣ? Оставалось просить денегъ у протопопа Третьякова, и она рѣшилась завтра же идти къ нему за деньгами.

Мачеха, сидя въ кабинетѣ Андрея Иваныча, сводила какіе-то счеты.

— Ты одна?

— Одна.

— А гдѣ же сестра?

— Я ея не видала.

— Говорятъ, что она по набережной гуляетъ съ мужчинами,—сказала Марина Осиповна, смотря на Дарью Андреевну. — Конечно, я не имѣю права стѣснять ее, но я ея старше, мнѣ бы хотѣлось ее предостеречь... А какъ станешь говорить: я, говорятъ, не имѣю права давать совѣты. Я думаю отправить ее къ Ипполиту Аполлоновичу, онъ ей скоро найдетъ жениха.

— Пожалуй. Только ужъ отправьте насъ обѣихъ: со мной она больше будетъ дома сидѣть.

— О, что ты, что ты, Даша! Ты думаешь, я тебя гоню! Нѣтъ. Я прежде точно на тебя сердилась, но теперь... теперь я не отпущу тебя... Что я одна сдѣлаю, одна во всемъ домѣ...

— Отдайте въ постой.

— Да ужъ я и такъ говорила инвалидному начальнику; онъ обѣщалъ, только, говоритъ, полы надо новые сдѣлать.

— Дѣдушка говорилъ мнѣ, что онъ обладитъ дѣло съ больницей, ему уже обѣщали, что она будетъ въ нашемъ домѣ, только вверху.

— Ахъ, дай бы Богъ!.. Я придумала планъ, не знаю, какъ онъ тебѣ, Даша, покажется: я хочу открыть въ домѣ мелочную лавочку на свое имя.

— Что же, это хорошо.

— Только вотъ не знаю—кого бы посадить.

— А Николая?

— Онъ старъ... Помнится мнѣ, что ты говорила мнѣ, по пріѣздѣ сюда, о намѣреніи заняться шитьемъ... Я думаю, что это не совсѣмъ тебѣ идетъ! Работать на чужихъ не совсѣмъ-то пріятно. Такъ вотъ, если бы я открыла лавочку, намъ бы хорошо было торговать обѣимъ. Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Я думаю—будетъ ли выгода?

— Какъ не будетъ!..

«Нѣтъ, матушка, думала въ постели Дарья Андреевна: ты меня не поддѣнешь. Теперь я поняла твои нѣжности со мной, хитрая! прежде, когда ты ни въ чемъ не знала нужды, я была тебѣ противна, а теперь, какъ пошла нужда—я и понадобилась. Нѣтъ, ужъ на меня не надѣйся».

Утромъ Марина Осиповна объявила, что она сама ѣдетъ въ Егорьевскъ хлопотать о больницѣ, потому-что она на Третьякова не надѣется, а пойдетъ сама къ губернатору.

— Зачѣмъ же вамъ ѣздить: вы меня пошлите; вы знаете, что я не изъ робкихъ.

— Но ты дѣвица...

— Если мнѣ не повезетъ, я попрошу дядю.

Марина Осиповна задумалась.

— Вы знаете, мамаша, что намъ дѣвушкамъ оставаться однимъ въ домѣ не совсѣмъ-то безопасно; а вы все-таки хозяйка.

— Пожалуй, поѣзжай.

Черезъ три дня Дарья Андреевна съ сестрой и въ сопровожденіи мачехи съ дѣтьми и старика Николая шли на пристань. На пристани въ числѣ провожатыхъ былъ и протопопъ Третьяковъ, и Марья Васильевна, и много чиновнаго люда.

— Такъ смотри же, Даша, пріѣзжай скорѣе,— говорила Марина Осиповна Дарьѣ Андреевнѣ на пароходѣ послѣ перваго звонка.

— Непремѣнно. Какъ только улажу, такъ и пріѣду.

— Тебѣ не мало ли денегъ. Я пожалуй дамъ еще рубля три.

— Нѣтъ, не надо... А если понадобится—я напишу.

Скоро пароходъ отплылъ. Провожающіе стали кланяться, кланялась всѣмъ и Дарья Андреевна. Она была очень рада, что такъ скоро вырвалась изъ родного города. Чувствовалась какая-то тоска, за то сердце билось радостно при мысли, что наконецъ-то она одна и свободна.

Но, полно, свободна ли? Не встрѣтится ли и въ Егорьевскѣ какихъ-нибудь препятствій, а денегъ-то не очень много было у Дарьи Андреевны—всего полтора рубля; однако Дарья Андреевна не обращала на это вниманія. Пароходъ уже далеко отплылъ отъ Ильинска, вотъ уже и Ильинскъ скрылся; по обѣимъ сторонамъ рѣки мужики и бабы сгребаютъ сѣно или рожь, по низменному берегу рѣки бурлаки тащатъ суденышко, кое-гдѣ верхомъ проѣдетъ баба или мужикъ въ рубахѣ, вездѣ видится трудъ. «Какъ хорошо!»—думаетъ Дарья Андреевна, вглядываясь въ эту жизнь, полную тяжелаго труда, и задумчиво смотритъ впередъ, не слушая глупой болтовни сестры и разговоровъ другихъ пассажировъ.

XVI.

Въ Ильинскѣ пассажировъ на пароходъ сѣло немного; кромѣ двухъ сестеръ, сѣли: одна изъ дочерей исправника, жена секретаря уѣзднаго суда, дьячокъ Богородицкой церкви, Духовской, который ѣхалъ въ Егорьевскъ со своей женой, Нимфодорой Ефремовой, хлопотать о дьяконскомъ мѣстѣ, еще одинъ купецъ и двое мѣщанъ. Всѣ эти лица Дарьѣ Андреевнѣ были или мало знакомы, или совсѣмъ незнакомы, но послѣ трехчасовой скуки на пароходѣ они всѣ разспросили ее, зачѣмъ она ѣдетъ въ Егорьевскъ и, получивши простой отвѣтъ, что она ѣдетъ по своему дѣлу, отстали отъ нея. Но Марья Андреевна, подсѣвши къ дьячихѣ, стала хвастать, что онѣ ѣдутъ къ совѣтнику-дядѣ, который въ губерніи имѣетъ большую силу, и что онъ въ нихъ души не чаетъ; поэтому они по перемѣнкѣ стали увиваться за сестрами, имѣющими родственникомъ такого туза, хотя и пользующагося въ губерніи не со-

всѣмъ-то хорошею репутаціею. Будь сестры въ настоящее время въ Ильинскѣ, онѣ бы не слышали бо́льшей лести, потому что всему Ильинску было извѣстно ихъ положеніе: всѣ знали, что Марина Осиповна не любила Дарью Андреевну; всѣ знали, что отъ Марьи Андреевны отказался женихъ, и притомъ еще отъявленный пьяница; всѣ считали Дарью Андреевну за сумасбродку, ведущую себя какъ-то свысока и по-новому, и, надо сказать правду, у этихъ людей не было къ обѣимъ сестрамъ особенной жалости. Но здѣсь, на пароходѣ, всѣ старались обращаться съ ними, особенно съ Дарьей Андреевной, любезно, ухаживали за ними, приглашали ихъ откушать съ ними чайку, и у каждаго на это были свои причины: совѣтникъ Яковлевъ слылъ въ губерніи за такое лицо, который можетъ выхлопотать должность какъ свѣтскому, такъ и духовному лицу. Это ухаживанье Дарьѣ Андреевнѣ весьма не нравилось, но Марья Андреевна таяла и млѣла отъ ухаживаній. У нея была на это причина—она даже тутъ искала себѣ жениха. Дарьѣ Андреевнѣ казались противными ея смѣшки на всю палубу; но имѣла ли она право сдерживать ее? Однакожъ она попробовала.

— Маша, ты бы поскромнѣе вела себя.

— А что?

— Посмотри, вонъ тамъ пассажиры второго класса смѣются и указываютъ на нашу сторону.

— А пусть ихъ хохочутъ! — и она захохотала и, немножко подумавъ, прошлась по палубѣ. Съ ней заговорилъ пассажиръ изъ второго класса, но скоро отсталъ.

— А сестрица-то у васъ изъ бойкихъ,—замѣтилъ Дарьѣ Андреевнѣ одинъ купецъ и завелъ разговоръ о приданомъ.

Такъ онѣ и ѣхали до Егорьевска; только ближе къ Егорьевску народу на пароходѣ стало больше и вниманія на нихъ стали обращать уже меньше.

Пароходъ, по случаю множества мелей на Волгѣ, вмѣсто того чтобы прибыть въ Егорьевскъ въ два часа пополудни, пришелъ въ восемь часовъ вечера. Всѣ пріѣхавшіе пассажиры не мало удивились видомъ губернскаго города. На высокомъ берегу, т. е. набережной, съ которой собственно начинается городъ, блестѣла тысяча разноцвѣтныхъ огней; внизу, въ подгородной части, тоже кое-гдѣ мелькали огоньки; на набережной слышалась гарнизонная музыка; по Волгѣ плылъ самымъ тихимъ ходомъ пароходъ, изукрашенный множествомъ разноцвѣтныхъ горящихъ шкаликовъ, и на немъ играла бальная музыка.

— Какой сегодня праздникъ? — спрашивали другъ друга пассажиры.

— Сегодня нѣтъ праздника, а это вѣроятно тузы вздумали веселиться,—говорилъ капитанъ парохода.

— Какіе мы счастливые: съ какимъ почетомъ встрѣчаетъ насъ городъ,—говорили бѣдные люди.

Съ самаго начала, какъ только пассажиры сошли на сушу, впечатлѣніе сдѣлалось непріятнымъ. На пристани и на берегу стояло нѣсколько полицейскихъ; одинъ казакъ тузилъ какую-то худощавую въ лохмотьяхъ женщину, съ крикомъ: не воруй; недалеко отъ мостковъ какіе-то франты спорили съ квартальнымъ, доказывая, что и они люди, и они могутъ попасть на пароходъ съ музыкой, но квартальный старался увѣрить ихъ, что они пьяные подъ горой гдѣ-то пѣли и ругались.

Когда Дарья Андреевна стала подниматься на гору съ сестрой, то какой-то мастеровой, держась за перила и пошатываясь, говорилъ плохо повинующимся языкомъ нѣсколькимъ человѣкамъ:

— Жрать нечего, а они што: лиманацію, музыку, народъ сбили. А пить запрещаютъ. Дураки мы всѣ, и больше ничего. Ну, чему вы смѣетесь-то?—Толпа хохотала. Мастеровой ругался.

— Мало ты видно въ части сиживалъ?—проговорилъ человѣкъ—повидимому, чиновникъ.

— Во всѣхъ сиживалъ.

— Такъ что жъ ты орешь-то; поди вонъ къ нимъ, господамъ, и говори, а мы и безъ тебя все знаемъ,—сказалъ кто-то въ толпѣ.

Дарья Андреевна съ сестрой приближались къ мѣсту гулянья.

— Дашечка, душечка,—погуляемъ! Здѣсь такъ отлично,—просила Марья Андреевна сестру.

— Успѣемъ еще нагуляться.

— Ты какъ хочешь, а я погуляю.

— Полно тебѣ! Хорошо развѣ гулять съ узлами и въ дорожномъ костюмѣ? Надо переодѣться.

— Ахъ, я и забыла про узлы-то. Такъ пойдемъ поскорѣе.

— Куда идти? — спрашивала себя Дарья Андреевна. Идти къ дядѣ ей не хотѣлось, идти куда-нибудь къ чужимъ?.. Но тутъ же ей представлялось, какъ будетъ сердиться дядя, какъ всполошится вся родня.

— Пойдемъ, Маша, къ брату,—сказала она сестрѣ.

— А къ дядѣ?

— Надо переодѣться.

— Только поскорѣе бы. На музыку какъ бы не опоздать!

Кузьма Андреичъ жилъ далеко отъ набережной, въ такой улицѣ, гдѣ жило бѣдное чиновничество и мѣщанство, которое не нуждалось ни въ тротуарахъ, ни въ фонаряхъ, но которое любило очень собакъ и жило своею жизнію, мало похожею на губернскую городскую. Когда сестры вошли въ эту улицу, то имъ представилось, что тамъ, кромѣ собакъ и караульныхъ, никого нѣтъ. Здѣсь было и темно и грязно, пахло чѣмъ-то похожимъ на кожу и отзывало кислою капустой. Многія окна были закрыты ставнями; огоньки сквозь тусклыя стекла виднѣлись кое-гдѣ; не видно было ни одного человѣка.

— Какъ здѣсь боязно!—сказала Марья Андреевна.

— А у насъ развѣ не то же?

— Здѣсь губернскій. И какъ это онъ служитъ въ палатѣ, а живетъ въ такомъ мѣстѣ.

Едва-едва онѣ разыскали домъ, въ которомъ жилъ Кузьма Андреичъ. На стукъ, какъ водится, первая отозвалась собака, потомъ, немного погодя, ихъ окликнулъ старушечій голосъ; кое-какъ, послѣ длинныхъ объясненій со стороны сестеръ, послѣ сомнѣній, высказанныхъ грубымъ старушечьимъ голосомъ, и увѣреній какого-то мужчины, имъ отперли калитку, закричали на собаку, рвавшуюся съ веревки; въ сѣняхъ появился огонь, ихъ позвали на крыльцо и вы-

сокая, худощавая старуха въ исподнемъ бѣльѣ, взглянувъ на нихъ, зѣвая проговорила:

— Да братца вашего дома нѣту; онъ дежуритъ.

— Въ леминацію?—ужаснулась Марья Андреевна.

— А развѣ есть гдѣ леминація?—удивилась хозяйка, и потомъ прибавила:—вашъ братецъ рѣдко дома ночуетъ; онъ все больше дежурить нанимается. А вы пройдите въ его комнату, тамъ кровать есть.

— Намъ бы, хозяюшка, чаю хотѣлось напиться,—сказала Дарья Андреевна.

— Какой теперь чай—спать пора. Оно бы, пожалуй, съ дороги, да только намъ строго приказано не ставить по ночамъ самоваровъ. Окромя этого еще надо сказать, Кузьма Андреичъ чаю не пьетъ и не держитъ дома: онъ все въ гостяхъ больше. Онъ у двухъ господъ ребятишекъ учитъ.

Хозяйка держала въ рукѣ оловянный, оплывшій саломъ подсвѣчникъ съ маленькимъ огаркомъ сальной свѣчки, пламя на которой откуда-то раздувало вѣтромъ и которое она заслоняла рукой; свѣча то и дѣло готова была кончиться. Дарья Андреевна это замѣтила, и потому попросила хозяйку проводить ее съ сестрой въ комнату брата. Комната эта находилась въ другой половинѣ дома, черезъ сѣни отъ хозяйскаго помѣщенія. Она была заперта и хозяйка насилу отыскала ключъ въ своей кухнѣ, и, когда подошла къ двери, то свѣчка погасла. Хозяйка скрылась; но черезъ три минуты вернулась въ сопровожденіи низенькаго, горбатаго съ черными волосами мужчины годовъ сорока, одѣтаго въ халатъ. На переносицѣ у него торчали огромные очки, а за ухо было вложено гусиное перо; въ рукѣ онъ держалъ мѣдный подсвѣчникъ съ сальной свѣчкой.

— Посвѣти-ко имъ, батюшко, Гаврило Ѳомичъ,—проговорила хозяйка и отперла дверь.

Горбачъ сперва растерялся, запахнулъ халатъ, прокашлялся, что-то хотѣлъ сказать, но только раскрылъ ротъ, нагнулся и шаркнулъ одной ногой.

— Вы сосѣдъ брату?—спросила Марья Андреевна горбача, улыбаясь.

— Сосѣдъ-съ, сосѣдъ. А вы ихнія сестрицы?

— Да.

— Сказывалъ, сказывалъ Кузьма Андреичъ. Мы съ нимъ сосѣди, дружно живемъ. Славный человѣкъ, аккуратный.

Они вошли въ комнату. Комната была низкая, узкая. Печка съ лежанкой занимала почти треть комнаты, кровать и комодъ—четверть, такъ что вошедшимъ стало тѣсно. Въ ней былъ также столъ и два стула съ кожаными продавленными подушками. Стѣны оклеены писаной и печатной бумагой; въ переднемъ углу висѣлъ маленькій образокъ и передъ нимъ лампадка.

— Вы въ гости-съ къ братцу?—спросилъ горбачъ.

— Мы только у него остановимся. Мы пріѣхали по дѣлу,—сказала Дарья Андреевна.

— По какому-съ?

— Мы къ дядѣ, Яковлеву,—сказала Марья Андреевна.

Горбачъ съежился, взглянулъ на лампадку.

— Едва ли Кузьма-то Андреичъ придетъ рано завтра. Я, пожалуй, схожу къ нему.

— Нѣтъ, зачѣмъ же...

— Да не теперь, а завтра. Только... какъ же... Вы поди съ дороги-то кушать хотите, а здѣсь и огня нѣтъ. Хоть бы лампадку зажечь.

— Ну, да! Еще узнаютъ—бѣда!—сказала хозяйка.

— Нельзя же безъ огня. Онѣ... барышни молодыя, къ темнотѣ непривычны. Я бы свою свѣчку далъ, да мнѣ надо заниматься... къ спѣху... Я ужъ сбѣгаю въ лавочку.

— Будьте такъ добры, — сказала Дарья Андреевна и стала рыться въ карманѣ.

По уходѣ горбача хозяйка сидѣла, зѣвала и дремала. По временамъ она, какъ бы просыпаясь, взглядывала на дѣвицъ. Когда на улицѣ залаяли собаки, и лай ихъ шелъ все дальше и дальше, она вдругъ встала и проговорила:

— Оно неловко, а какъ проучатъ — опасно... Вы извините. Только ночью воровъ много. Паспорта бы надо.

— У насъ нѣтъ, потому что мы сюда ненадолго; насъ дядя знаетъ, — отвѣтила Дарья Андреевна.

— Такъ-то оно такъ. Я вижу по облику, что вы сестры... только я не знаю...

— Неужели вы сомнѣваетесь?

— Нѣтъ... Ну, да ужъ ночуйте. Я вѣдь васъ не знаю. Хоть мнѣ Кузьма-то Андреичъ и разсказывалъ, что у него есть двѣ сестры дѣвицы.

— Даша, пойдемъ къ дядѣ, — сказала Марья Андреевна.

— Куда же мы пойдемъ ночью?

— Это правда. Вашъ дядюшка ужъ поди спитъ,— сказала хозяйка.

Опять залаяли собаки, послышался скрипъ калитки, пришелъ горбачъ. На немъ былъ надѣтъ халатъ, на головѣ фуражка съ кокардой; онъ держалъ въ одной рукѣ стеариновую свѣчку, въ другой узелокъ.

— Извольте-съ... Прошу не побрезговать. Я взялъ въ лавочкѣ семги, уксусу, перцу, огурцовъ, хлѣба.

— Мы вамъ очень благодарны... очень. Сколько вамъ? — спросила Дарья Андреевна.

— Всего тридцать копеекъ.

— Ахъ живодеры! Покажите-ка?—проговорила хозяйка и, осмотрѣвъ покупку, покачала головой и разразилась бранью на торгашей вообще и въ особенности на ту женщину, у которой она беретъ постоянно припасы. Потомъ она принесла двѣ тарелки, вилки, ножи и, пожелавъ добраго здравія и спокойной ночи сестрамъ, ушла; за ней ушелъ и горбачъ.

По уходѣ ихъ Марья Андреевна захохотала.

— Чему ты смѣешься?

— Этотъ горбачъ чиновникъ! и въ очкахъ!

— Ничего нѣтъ смѣшного. Не было бы его, что было бы съ нами?.. а теперь мы въ квартирѣ брата и отлично покушаемъ.

— Ну ужъ, дрянь-то!

— Однако ты вонъ какъ уплетаешь...

— А все ты. Отчего бы не идти къ дядѣ?

— Неловко, сестричка. Мы вѣдь безъ отца.

Марья Андреевна вздохнула и замолчала.

Въ стѣнку стукнулъ горбачъ и спросилъ:

— Вамъ не надо ли воды?

— Принесите,—сказала Дарья Андреевна.

— Какой онъ смѣшной!—сказала Марья Андреевна, когда онъ ушелъ, и прибавила:—ужъ я никакъ не думала, чтобы братецъ жилъ такъ по-цыгански.

— Надо ко всему привыкать, сестричка. Еще неизвѣстно, что̀ будетъ съ нами.

— Ну, ужъ я ни за что не буду такъ жить.

Скоро онѣ легли на братнину кровать. Ложе оказалось жесткимъ, но Марья Андреевна, хотя и сѣтовала на сестру, что та не доставила ей удовольствія погулять на набережной, однако, скоро заснула, а Дарья Андреевна крѣпко призадумалась надъ этой первой встрѣчей съ нуждой. Ужъ если братъ такъ живетъ, то каково-то будетъ ей начать новую жизнь съ семидесятью-пятью копейками въ карманѣ?..

XVII.

На другой день Дарья Андреевна проснулась рано—еще было не совсѣмъ свѣтло, но она уже слышала, что по улицѣ шли мужчины и грубыми словами ругали дождикъ и грязь; слышала, что хозяйка кого-то ругала, и гдѣ-то часто скрипѣли двери. Ей хотѣлось встать, но дѣлать было нечего; неизвѣстность, что̀ станется съ нею дальше, и какая-то боязнь за рѣшеніе покончить съ чиновничествомъ удерживали ее въ кровати. Ей нисколько не хотѣлось спать; она стала обсуждать свое положеніе и рѣшать, что̀ теперь дѣлать. Идти къ дядѣ ей ни подъ какимъ видомъ не хотѣлось, а идти надо, потому-что она не одна, а съ сестрой, которая знаетъ въ Егорьевскѣ только набережную, бульваръ, церкви и двѣ-триглавныя улицы. Но прійти къ дядѣ значитъ нужно остаться тамъ, а ей не хотѣлось даже и ночевать у него. Не ходить туда вовсе—нужно оставить сестру въ горѣ и совсѣмъ разссориться съ ней, съ братомъ, родней, да и притомъ найдетъ ли она себѣ мѣсто въ одинъ день? И она рѣшила отвести къ дядѣ сестру, то-есть, сдать ее ему, какъ говорится, съ рукъ на руки, а потомъ уйти къ брату и до пріисканія мѣста поселиться у него, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ говоритъ хозяйка, не только днемъ рѣдко бываетъ дома, но даже и не ночуетъ, а хозяйка у него, кажется, женщина хорошая. Однако, пріятно ли это покажется брату? Казалось бы, что онъ долженъ быть радъ ей, долженъ бы пріютить ее у себя, потому-что прежде они жили, какъ говорится, душа въ душу, никогда не ссорились, онъ всегда былъ противъ мачехи и дяди, и если услуживалъ послѣднему, то для того, чтобы получить какую-нибудь должность. Но изъ того, что говорила ей вчера хозяйка, изъ обстановки его квартиры замѣтно, что онъ теперь сдѣлался еще экономнѣе, не пьетъ дома чаю, не куритъ табаку, не приглашаетъ товарищей, не жжетъ свѣчей. За комнату онъ платитъ рубль, за кушанье—пять, а получаетъ отъ дежурства и уроковъ съ жалованьемъ рублей двадцать. Ужъ если онъ самъ себя стѣсняетъ то ее и подавно стѣснитъ. Но неужели онъ не дозволитъ ей прожить у него дня два? Нѣтъ, онъ этого не сдѣлаетъ. «Итакъ—рѣшено: уйду къ брату, поселюсь у него и отъ него перейду въ какой-нибудь магазинъ». Съ этими словами она встала и начала оглядывать комнату. Въ ней было все то, что нужно для холостого чиновника: кровать, столъ, комодъ, чернильница на столѣ и два пера, но замѣтно было аскетическое настроеніе хозяина комнаты; на одной стѣнѣ прилѣплено было нѣсколько картинъ духовнаго содержанія: тутъ былъ и страшный судъ, и душа человѣка, проходящая множество мытарствъ, смерть грѣшника и проч. На комодѣ лежали: «Училище благочестія», «Семь смертныхъ грѣховъ» и «Поученія Родіона Путятина». Неизвѣстно почему у Дарьи Андреевны при обзорѣ этой комнаты защемило сердце. Вѣдь она тоже когда-то прочитала всѣ эти книги, пересмотрѣла тысячу разъ эти картинки; она была религіозна въ душѣ, хотя и не особенно благосклонно отзывалась объ обрядахъ; она рѣдко ложилась спать не помолившись Богу,—но отсутствіе у брата свѣтскихъ книгъ и хорошихъ картинокъ все-таки приводило ее къ заключенію, что онъ ведетъ жизнь вполнѣ монашескую, и если въ его комнатѣ не пахнетъ ладономъ, такъ единственно потому, что онъ скупъ. Но вотъ что ей страннымъ показалось: въ книгѣ «Училище благочестія», вѣроятно по забывчивости, была вложена записочка, писанная женской рукой, и вѣроятно лукомъ, потому-что буквы были желтыя, и бумага въ двухъ мѣстахъ прожжена. Въ этой безъимянной запискѣ его приглашали куда-то и просили сказать дома, что онъ сегодня на дежурствѣ. Дарья Андреевна любила брата, и ей стало стыдно, что она проникла въ его тайну. Ей показалась мрачна эта комната, ей хотѣлось скорѣе уйти изъ нея, и она завидовала сестрѣ, которая крѣпко спала.

Она пошла къ хозяйкѣ. Та пила чай съ сосѣдомъ Кузьмы Андреича. У нея уже истопилась печь и на двухъ длинныхъ доскахъ положено было тѣсто для булокъ.

При входѣ ея Гаврила Ѳомичъ растерялся и запахнулъ халатъ. Хозяйка сидѣла безмятежно, держа всей пятерней лѣвой руки блюдечко и дуя въ горячую воду.

— Съ добрымъ утромъ! Каково ночевали-съ?—проговорилъ Гаврила Ѳомичъ.

— Отлично.

— Пошли бы еще спать, вѣдь еще рано,—сказала какъ-то недовольно хозяйка.

— Пожалуйте чашечку!—сказалъ Гаврило Ѳомичъ.

— Покорно благодарю. Мнѣ бы умыться.

— А вонъ рукомойникъ,—проговорила хозяйка и мотнула головой къ двери, около которой висѣлъ глиняный рукомойникъ, имѣющій видъ чайника.

Когда Дарья Андреевна пришла къ хозяйкѣ съ полотенцемъ, то у нея Гаврилы Ѳомича уже не было, а она сама готовилась приниматься катать булки.

— Вы долго у меня пробудете?—спросила хозяйка Дарью Андреевну.

— Мы сегодня уйдемъ къ дядѣ. Сестра останется тамъ, а я приду сюда.

— Зачѣмъ?

— Я хочу у брата жить.

Хозяйка съ удивленіемъ посмотрѣла на дѣвушку и такъ стала работать руками, что доски застучали.

— Вы думаете я захочу васъ двоихъ держать: подумаютъ, живетъ любовникъ съ любовницей, а не братъ съ сестрой,—сказала, наконецъ, хозяйка.

— Отчего же мѣщане живутъ такъ?

— То дѣло другое. Да и что вамъ за охота жить съ братомъ? То ли дѣло жить у богатой родни.

— Видите ли что. Я хочу поступить въ магазинъ въ швеи.

— А!?—ну, это другое дѣло.

— Какъ вы думаете на этотъ счетъ?

— А ничего не думаю, потому нонче расплодилось много всякаго народу.

— Вы вотъ тоже печете булки на продажу.

— Ну, то я, старуха... А вотъ кои молодыя пекутъ, такъ у нихъ брать никто не хочетъ, потому сомнѣваются, чтобы эти булки были чистыя.

Пришелъ Гаврила Ѳомичъ въ вицмундирѣ и въ фуражкѣ съ кокардой. Подъ лѣвой мышкой онъ держалъ свертокъ бумагъ, а въ правой рукѣ—большой холщевый зонтъ.

— Я пошелъ, Агафья Сергѣевна. Вотъ ключъ,— сказалъ онъ хозяйкѣ, и повѣсилъ на гвоздикъ ключъ отъ своей комнаты.

— Ты, Гаврила Ѳомичъ, позови ихняго-то братца.

— Безпремѣнно. Прощайте-съ, — раскланялся Гаврила Ѳомичъ Дарьѣ Андреевнѣ и ушелъ.

— Коли хотите пить чай—пейте. Вѣдь у вашего братца едва ли есть чай.

— Нѣтъ, благодарю.

— Ну, какъ знаете.

Дарья Андреевна ушла и задумалась. «Нѣтъ, и здѣсь не житье мнѣ, потому что хозяйка гонитъ. Она, кажется, женщина хорошая, но братъ видно ведетъ себя нехорошо съ ней. А впрочемъ вѣдь она насъ не знаетъ. Надо будетъ переговорить съ братомъ».

Проснулась Марья Андреевна. Потягиваясь она проговорила:

— Какъ жестко!... Какъ это онъ спитъ? А который часъ?

— Не знаю. Должно быть много, потому что сосѣдъ уже ушелъ на службу, а хозяйка посадила въ печь булки.

— А что жъ самовара нѣтъ?

— Да его и не будетъ. Вѣдь еще вчера хозяйка говорила, что у брата нѣтъ самовара, и онъ дома не пьетъ чай.

— Это ужасно!

— А ты водицы напейся.

Пришелъ Кузьма Андреичъ. Онъ объяснилъ, что о пріѣздѣ дорогихъ гостей его увѣдомилъ Гаврила Ѳомичъ и тутъ же замѣтилъ сестрамъ, что онѣ большія неряхи, потому что, во-первыхъ, разбросали свои вещи, а во-вторыхъ, не убрали его постель, и сдѣлалъ выговоръ за то, что онѣ остановились у него, а не у дяди. Все это было выговорено мимоходомъ, такъ что Марья Андреевна приняла за шутку и, въ ожиданіи чая, хихикала, но Дарья Андреевна убѣдилась въ справедливости своихъ предположеній, и у нея защемило сердце.

— Ну, что мачеха? не думаетъ ли попрежнему продать домъ? — спросилъ Кузьма Андреичъ Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна коротко объяснила ему жизнь мачехи теперь и то, зачѣмъ мачеха послала ихъ въ Егорьевскъ.

— Это надо устроить, только какъ же мы надзирать-то за ней будемъ?

— Я отъ своей части отказываюсь.

— Ну, нѣтъ, отказываться глупо. Я ни за что не откажусь.

— И я тоже. А какъ бы, братецъ, чаю?—сказала Марья Андреевна.

— Чаю-то? Да я, сестрички, не пью чай дома, потому что жалованье маленькое. А вотъ вы одѣвайтесь, пойдемте къ дядѣ.

Онъ вышелъ.

Марья Андреевна засуетилась, а Дарья Андреевна вышла за братомъ. Онъ стоялъ на крыльцѣ и смотрѣлъ на свинью, роющуюся въ грязи.

— Братецъ! Что я тебѣ хочу сказать...—сказала Дарья Андреевна, подойдя къ брату.

— Что?

— Мнѣ совсѣмъ не хочется идти къ дядѣ.

— Почему?

— Я тебѣ должна признаться какъ другу, что я пріѣхала сюда затѣмъ, чтобы жить своимъ трудомъ.

Братъ посмотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ.

— Какъ это своимъ трудомъ?

— Очень просто: я буду шить.

— Глупости! Иди одѣвайся, мнѣ пора на службу.

— Я, братъ, не шучу, и одѣваться не стану, а останусь здѣсь.

— Ты, сестричка, кажется, съ ума сошла или просто шутишь?

— Такъ и ты мнѣ удивляешься?

— Еще бы! Прошу тебя, ради Христа, одѣвайся и пойдемъ.

— Мнѣ не во что одѣваться: платья дома... А что, братъ, можно у тебя пожить дня два, три?

Братъ посмотрѣлъ на нее съ улыбкой и закачалъ головой.

— Отказываешься?

— Что?

— Пустить-то меня на квартиру.

— Ей-Богу, ты меня выводишь изъ терпѣнія! Я не понимаю, что съ тобой?

У Дарьи Андреевны появилась улыбка презрѣнія и досады, и она ушла въ комнату брата, гдѣ Марья Андреевна еще и въ половину не привела въ порядокъ своего туалета. Она сѣла и задумалась. Она предчувствовала, что и брату ея, ея другу, намѣреніе ея зарабатывать свой хлѣбъ покажется смѣшнымъ; онъ надсмѣялся надъ ней хуже, чѣмъ ея отецъ. «Итакъ, думала она, со стороны брата не будетъ никакой поддержки; теперь нужно искать квартиру, а денегъ нѣтъ, знакомыхъ тоже; поневолѣ приходится поселиться у дяди».

Дядя былъ дома. Когда они пришли, онъ уже былъ одѣтъ. Жена его, Анна Николаевна, сорока-пятилѣтняя низенькая, но съ чистымъ, моложавымъ лицомъ, въ ситцевомъ платьѣ, писала какой-то счетъ, а пе-

редъ ней въ почтительной позѣ стояла кухарка-старуха. Оба они обрадовались племянницамъ, облобызались съ ними, но замѣтно было, что они обрадовались больше Дарьѣ Андреевнѣ. Начались разспросы, но хозяева не суетились, а сидѣли чинно и говорили свысока. Хотя они и были любезны съ Дарьей Андреевной, но она замѣтила, что эта любезность неискренняя; видно было, что хозяева думали, что племянницы пріѣхали жить у нихъ. Съ Кузьмой Андреичемъ Ипполитъ Аполлоновичъ обращался какъ съ подчиненнымъ; на болтовню же Марьи Андреевны хозяева даже и вниманія не обращали, такъ что она скоро сконфузилась, стала злобно смотрѣть на сестру, чувствовала себя не по-себѣ и робко смотрѣла на шкафъ съ книгами и рояль, стараясь затаить тяжелые вздохи.

— Хорошо, что ты, Даша, сама догадалась пріѣхать; я тебя уже хотѣлъ выписывать и хотѣлъ послать денегъ. Но такъ какъ ты пріѣхала сама, то эти деньги поступятъ тебѣ на платье,—проговорилъ дядя.

— Покорно благодарю, дяденька, мнѣ не надо платья; и то, что̀ на мнѣ, хорошо.

— Ну-ну! Къ намъ ходятъ гости: въ такомъ нарядѣ неприлично. Ну, Кузьма, возьми-ка портфель и отнеси въ палату, я сейчасъ приду. Чортъ ихъ возьми съ этимъ катаньемъ—голова болитъ и денегъ жалко; вѣдь тридцать рублей ушло на одно шампанское,—хвастался дядя.

— Полно тебѣ горевать объ этомъ; итакъ все сидишь дома,—сказала Анна Николаевна супругу.

— Что это у васъ за праздникъ былъ, дяденька?

— Такъ, пустяки: губернаторъ пріѣхалъ новый, такъ общество или скорѣе городъ устроилъ катанье—повеселиться на рѣкѣ, а иллюминацію устроилъ отъ себя голова. Ну, до свиданія, Аннушка, Даша, ты...—обратился онъ къ женѣ, Дарьѣ Андреевнѣ и ея сестрѣ, удостоивъ первыхъ поцѣлуемъ, а послѣднюю кивкомъ головы.

Домъ у Ипполита Аполлоновича былъ одноэтажный, но большой; комнатъ въ немъ было много и въ каждой много мебели, картинъ и цвѣтовъ, а въ нѣсколькихъ клѣткахъ пѣли соловьи, канарейки и чижики; комнаты были небольшія, а отъ мебели онѣ казались тѣсными; мягкіе ковры на полу и широкіе турецкіе диваны придавали имъ азіатскій характеръ. Отзывало какой-то чинностью; такъ и казалось, что тутъ живетъ важный женатый чиновникъ, у котораго нѣтъ дѣтей. Къ задней сторонѣ дома прилегалъ небольшой садикъ съ невысокими деревьями. У Ипполита Аполлоновича въ настоящее время было только двѣ прислуги: кухарка и кучеръ. Работы обоимъ было много; но имъ помогала жена кучера и его подростающія дочери. Дарьѣ Андреевнѣ и прежде этотъ домъ казался тюрьмой, точь-въ-точь какъ у протопопа Третьякова, только съ тою разницею, что здѣсь не курили ладономъ и былъ рояль, на которомъ играли племянницы Анны Николаевны. Теперь же ей больше прежняго этотъ домъ сдѣлался противнымъ, скучнымъ, въ которомъ все однообразно, въ которомъ живущіе вполнѣ довольны своею судьбою. Это чувствовала даже и Марья Андреевна, которая у дяди бывала рѣдко и привыкла долго спать, пѣть и свободно бродить изъ комнаты въ комнату; она чувствовала, что она здѣсь хотя и у родни, но какъ-будто чужая, потому что съ ней обращаются свысока. Ей очень не понравилось, когда тетка огорошила ее вскорѣ послѣ того, какъ ушелъ дядя.

Подошла она къ окну и стала смотрѣть на кленъ, который цвѣлъ. Она какъ-то дотронулась до цвѣтка, нѣсколько сухихъ листьевъ попадали на полъ.

— Что вы дѣлаете, душечка! Вонъ вы какъ насорили, отойдите отъ окна, сядьте и пейте чай.

Щеки Марьи Андреевны покраснѣли, какъ маковъ цвѣтъ, и она робко сѣла на указанное ей мѣсто.

— А вы, Марья Андреевна, долго у насъ прогостите?—спросила вдругъ Анна Николаевна Марью Андреевну.

Этотъ вопросъ заставилъ поблѣднѣть дѣвушку: она точно проглотила пилюлю и не нашлась, что отвѣтить, кромѣ робкаго «не знаю».

— Мы, тетенька, пріѣхали попросить дяденьку насчетъ больницы. Какъ только дяденька согласится похлопотать о томъ, чтобы больница была помѣщена въ нашемъ домѣ, мы уѣдемъ,—сказала Дарья Андреевна.

— Зачѣмъ же такъ скоро?

Въ это время раздался въ прихожей звонокъ.

— Ахъ, кто-то пріѣхалъ! Подите, пожалуйста, въ ту комнату, которую, помнишь, ты, Даша, занимала.

И сама встала и пошла встрѣчать звонившаго.

Сестры ушли.

Комната, которую занимала Дарья Андреевна передъ отъѣздомъ въ монастырь, находилась рядомъ съ спальней Анны Николаевны, у которой была своя спальня, отдѣльная отъ мужа. Эта комната имѣла отдѣльный ходъ, въ ней было два окна, выходящія въ садъ, немного простой мебели, диванъ и столъ. У окна вверху пѣла канарейка, которая при входѣ дѣвицъ шибко забѣгала въ клѣткѣ, перескакивая съ палочки на палочку.

— Противная! Чуть свѣтъ—она ужъ и поетъ; а днемъ, если бывало придется здѣсь что-нибудь шить, она такъ надоѣстъ своимъ пѣніемъ, что заболятъ уши и хочется убѣжать. Сколько въ первое время изъ-за нея было непріятностей! только начнетъ она плескаться въ баночкѣ съ водой, брызги летятъ и падаютъ на шитье. Тетка и спрашиваетъ: что за пятно? Сперва я не знала, откуда они, но потомъ догадалась. Тетка не вѣрила и, когда сама увидѣла на столѣ брызги, тогда переставила столъ вотъ сюда,—говорила сестрѣ Дарья Андреевна.

— А гдѣ ты спала?

— А на этомъ диванѣ.

— Да вѣдь онъ коротокъ?

— Я тогда была покороче. Теперь, можетъ-быть, кровать дадутъ, потому что насъ двѣ.

— Тебѣ хорошо: тебя здѣсь любятъ, а я—какъ чужая. Какъ бы отсюда скорѣе уѣхать!—проговорила Марья Андреевна со слезами на глазахъ.

— Не завидуй, Маша: это тебѣ такъ кажется. Они мягко стелютъ, да жестко у нихъ спать.

— Нѣтъ, тебѣ хорошо. Ужъ лучше къ братцу, а отъ него я бы сюда стала ходить.

— Хорошо еще, если братецъ приметъ, а здѣсь

ужъ пригласили. Тебя здѣсь полюбятъ, помяни мое слово.

— Дома хоть мачеха и зла, а всеже лучше: здѣсь все сиди на одномъ мѣстѣ, гдѣ велятъ, встанешь—неладно, слово скажешь—молчать велятъ. Нѣтъ, я уѣду; я уѣду къ Осипу. Тамъ славно!

— Хорошо ссориться съ золовкой! Вотъ ты завидуешь мнѣ, что меня здѣсь любятъ, а ты подожди, что будетъ черезъ нѣсколько дней.

— А что?

— То, что я хочу уйти отъ нихъ.

— Что ты, сестрица, Господь съ тобой! Неужели ты въ самомъ дѣлѣ рѣшилась?

— На что?

— Какъ же: мнѣ Наталья Семеновна сказывала, что ты въ швеи хочешь. Ай-ай, сестрица!

— По-твоему хорошо развѣ ѣсть чужой хлѣбъ и слушать попреки? Какъ ты объ этомъ думаешь?

Марья Андреевна задумалась.

— Вотъ ты у Осипа часто живешь; тебѣ какъ будто хорошо тамъ, а я очень хорошо знаю, что ты у нихъ живешь какъ горничная, и предполагаю, что тебя намѣренно попрекаютъ хлѣбомъ, если не братъ, то золовка.

— Правда твоя, сестрица, правда... Горько мнѣ это, горько...—И она заплакала.—Ты не знаешь, сколько я перенесла отъ нихъ... Я не умѣю ничего дѣлать—вотъ моя бѣда.

Дарья Андреевна обняла сестру и крѣпко прижала ее къ себѣ. Теперь только она поняла положеніе этой дѣвушки, и оно показалось ей даже хуже ея собственнаго.

— Не горюй, сестрица, мы вмѣстѣ поступимъ въ швеи.

— Я не умѣю шить по-модному.

— А развѣ я умѣю?

— Да какъ же это? вѣдь мы чиновницкія дочери.

Въ комнату вошла Анна Николаевна и, увидавъ такую нѣжную сцену и плачущую Марью Андреевну, очень удивилась.

— Что это такое? О чемъ это вы, Маша, плачете?

— Она потеряла папашинъ бумажникъ,—отвѣтила за сестру Дарья Андреевна.

— Только-то! Стоитъ о чемъ слезы тратить. Съ вами хочетъ познакомиться моя племянница Катерина Алексѣевна Телѣжникова. Мужъ ея служитъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Вытрите ваши слезы, Марья Андреевна, оставьте эти глупости. Пойдемте.

Онѣ вошли въ комнату, въ которой находился шкафъ въ книгами. Шкафъ былъ отворенъ; у него, нагнувшись къ полу, суетилась молодая женщина, перебирая и перелистывая книги. Она была высокаго роста, худощавая, съ бѣлымъ, какъ мраморъ, лицомъ, большими карими глазами; подъ сѣтку на головѣ были спрятаны русые волосы, на ней было надѣто шелковое, сшитое по послѣдней модѣ, платье.

— Представляю,—сказала Анна Николаевна.

Телѣжникова выпрямилась, держа въ рукахъ по книгѣ.

— Эта Дарья Андревна; эта Марья Андревна,—рекомендовала Анна Николаевна.

Телѣжникова тоже отрекомендовалась и подала обѣимъ сестрамъ руку.

— Очень пріятно познакомиться. Впрочемъ, я уже знакома съ вами давно по тетушкинымъ разсказамъ. Давно вы пріѣхали?—проговорила она бойко, но плавно, нѣжно и свысока.

Нѣсколько времени разговоръ продолжался въ этомъ родѣ, въ него вмѣшивалась и Анна Николаевна. Дарья Андреевна отвѣчала безъ затрудненія и съ своей стороны спрашивала смѣло, но Марья Андреевна тяготилась этой молодой барыней съ «алебастровымъ лицомъ», какъ она заключила по-своему. Телѣжникова говорила бойко, свысока, такъ что она на ея вопросы ничего не могла отвѣтить.

— Я у васъ, тетенька, всю библіотеку перерыла, но ничего путнаго не нашла. Кромѣ того, что я прочитала, остался все хламъ.

— Ну, матушка, и хламъ прочитаешь, — коли дѣлать нечего.

— Только не я. А вы, Дарья Андреевна, любите читать?

— Очень люблю, только нечего. У насъ въ городѣ хорошихъ книгъ не достать.

— А вы что любите читать: ученое или беллетристику?

— Все, что нравится.

— Ну, это еще ничего не значитъ. Вы, напримѣръ, читали «Отцы и дѣти», романъ Тургенева?

— Нѣтъ, не читала.

— И не читай, ради Бога: это развратъ!—сказала Анна Николаевна.

— Для васъ, пожалуй, потому что вы прожили молодость; вы люди стараго поколѣнія, а мы новые.

— То-то вы новые: толкуете все о какомъ-то трудѣ, а сами ничего не дѣлаете, только языкомъ болтаете—благо онъ не на привязи.

— Извините-съ: я сама себѣ платки и мужу манишки мою, сама крахмалю и глажу.

— Ну!—И Анна Николаевна, махнувъ рукой, ушла.

Дарью Андреевну заинтересовала эта барыня.

Онѣ вошли въ залу. Нѣсколько минутъ молчали. Марья Андреевна сѣла и стала перебирать одну книгу: стихотворенія Жадовской; Дарья Андреевна стояла у окна и смотрѣла на улицу; провезли два воза дровъ, проѣхала барыня на дрожкахъ и прошло нѣсколько человѣкъ впередъ и обратно, заглядывая въ окна этого дома. Вообще эта улица, хотя и не особенно, все-таки была оживлена больше, чѣмъ та улица въ Ильинскѣ, на которой стоитъ домъ ея родителя. Телѣжникова перебирала ноты.

— Дарья Андреевна, вы умѣете играть?—вдругъ спросила ее Телѣжникова.

— Нѣтъ.

— А пѣть?

— Пѣть я умѣю очень немного и то простонародныя пѣсни.

— Въ театрахъ бывали?

— Когда я здѣсь жила, то раза два была. Понравилось. Играли: «Не въ свои сани не садись».

— Что же, помните вы кое-что изъ комедіи?

— Она на меня произвела тяжелое впечатлѣніе.

— Напротивъ, она самая смѣшная.

— Я съ вами спорить не могу, только мнѣ кажется, что въ ней купеческая жизнь изображена очень вѣрно. Напримѣръ, семейныя сцены представлены очень хорошо, купцы Бородкинъ и Русаковъ какъ вылитые... И я думаю, что купцамъ не совсѣмъ пріятно смотрѣть, какъ ихъ представляютъ. Только вотъ актеры на купцовъ не похожи—манеры у нихъ чиновничьи.

— Въ самомъ дѣлѣ! Да вы знатокъ въ театральномъ дѣлѣ!

— Какой же знатокъ: я вѣдь всего-то была въ театрѣ два раза.

— Погодите, мы часто съ вами будемъ ѣздить въ театръ, у меня тамъ абонирована ложа. Вотъ и сестрицу вашу,—какъ ее звать?—Марью Андреевну тоже будемъ брать. — Марья Андреевна покраснѣла, но Дарья Андреевна отъ приглашенія ѣздить въ театръ отказалась.

— Почему же вы отказываетесь?—спросила ее Телѣжникова.

— Мы не привыкли къ ложамъ. Ужъ если я буду имѣть свои деньги, то сама пойду въ театръ и куда-нибудь повыше,—отвѣтила Дарья Андреевна.

— Какая вы гордая!—И она съ улыбкою, незамѣтно для Дарьи Андревны, оглядѣла ее съ головы до ногъ и потомъ съ улыбкой же извинилась за свое выраженіе.—Надѣюсь, мы съ вами познакомимся ближе. Такъ?—и она протянула ей руку.

— Благодарю. — Дарья Андреевна подала ей свою руку.

— Нѣтъ, вы не отказывайтесь. Мнѣ очень хочется познакомиться съ вами.—Она пошла, держа руку Дарьи Андреевны въ своей рукѣ; Дарья Андреевна тоже пошла.

— Вы мнѣ очень нравитесь, я такъ много объ васъ слышала хорошаго, такого, что возмущаетъ стариковъ, но что въ духѣ нашего времени, что ждала васъ съ нетерпѣніемъ.

— Покорно благодарю.

Телѣжникова улыбнулась и начала:

— Ей-Богу. У насъ, знаете, теперь время такое... время прогресса. Вы знаете, что такое прогрессъ?

— Нѣтъ.

— Это, моя душечка, то, когда люди стремятся къ чему-то другому, непохожему на прежнюю жизнь. Возьмите, напримѣръ, освобожденіе крестьянъ—это небывалая вещь! Кто бы могъ подумать, живя назадъ тому двадцать лѣтъ, что наступитъ время, когда будутъ освобождены крестьяне, когда отъ полиціи отнимутъ ту власть, которою она еще такъ недавно пользовалась, когда становые пристава будутъ ничто. Это великія преобразованія. Но я отклонилась отъ предмета. Теперь настало время прогресса не только для мужчинъ, но и для женщинъ.

Дарья Андреевна поглядѣла на нее испытующимъ взоромъ.

— Васъ удивляютъ мои слова, моя милочка. А я вамъ скажу, что на женщинѣ лежатъ великія обязанности. Не говоря уже о томъ, что она даетъ и воспитываетъ для государства дѣтей, она и государствомъ орудуетъ.

— Какъ это государствомъ?

— Да такъ: что ни дѣлается мужчинами, дѣлается по волѣ нашей.

— Я съ этимъ не согласна, потому-что жила въ такомъ городѣ, гдѣ все дѣлалось по волѣ мужей. Иногда мужья совѣтуются съ женами, но все-таки дѣлаютъ по-своему. Случается, дѣйствительно, есть такіе мужья, которые въ иномъ случаѣ дѣлаютъ по совѣту жены, но зато въ другомъ—держатъ жену, какъ какую-нибудь служанку.

— Я къ тому и веду рѣчь, что у насъ, да и вездѣ, кромѣ Англіи и Америки, существуетъ полный деспотизмъ. У насъ мужчина — глава. Надо, чтобы этого не было, и сдѣлать это очень возможно.

— Какимъ образомъ?

— Завести женскія училища, въ которыхъ бы обучали женщины; установить свободу брака, допустить женщинъ на службу. И эти задачи лежатъ на обязанности женщинъ, потому-что мужчины хотя и берутся за эти вопросы, но стараются обрѣзать ихъ, потому-что никакъ не могутъ отстать отъ принципа, что они главы, законодатели, и что въ нихъ вся сила; насъ же считаютъ существами слабыми, игрушками, которыми въ свободное время можно забавляться, какъ угодно. Однако, извините за нескромный вопросъ: какъ вы смотрите на бракъ? Я спрашиваю потому, что слышала, вы многимъ даже хорошимъ женихамъ отказали?

— А вы какъ?

— А-а? понимаю, что вы ищете идеала.—Она вздохнула. — Идеалы такъ и остаются во всю жизнь идеалами, потому-что всѣ мы выходимъ зря.

— А вы?

Щеки Телѣжниковой покраснѣли.

— Какъ можно! Я вышла по любви! мы живемъ отлично. Но вотъ я знаю многихъ...

Дарья Андреевна взглянула на нее. Она продолжала:

— И онѣ въ этомъ не виноваты. Однѣ выходятъ замужъ за виднаго въ обществѣ человѣка для того, чтобы блистать въ обществѣ; другія—изъ желанія быть чиновницей; третьихъ нужда заставляетъ выходить замужъ за кого попало, хоть за старика, чтобы только избавиться отъ ненавистной семьи, въ которой ихъ грызутъ; наконецъ, четвертыхъ выдаютъ сами родители для того, во-первыхъ, чтобы избавиться отъ лишняго бремени, а во-вторыхъ, чтобы и самимъ пристроиться у зятя на старости лѣтъ или получить черезъ него должность, чинъ и награду, если только у зятя родня со связями.

— Въ чиновническомъ быту это такъ. Но вы взгляните на другія сословія, особенно на мѣщанъ и крестьянъ.

— Я, правда, съ этими сословіями мало знакома, но нахожу, что они находятся въ грубомъ и невѣжественномъ состояніи.

— Напротивъ, народъ это хорошій, добрый. Если же онъ не ученъ, то это зависитъ отъ бѣдности.

— Это, пожалуй, правда,—согласилась Телѣжникова и задумалась.

— Вы такъ прекрасно изобразили положеніе женщины-чиновницы. Я видала такихъ женщинъ, и съ

вашими словами согласна. Но я должна вамъ замѣтить, что мѣщанки и крестьянки рѣдко желаютъ управлять или учиться. Онѣ просто всю жизнь работаютъ, и даже больше своихъ мужей.

— Вотъ это и скверно.

— А безъ работы такой женщинѣ будетъ скучно. Я вотъ васъ хочу спросить: какой вы находите выходъ чиновницѣ изъ такого подчиненія, какъ, напримѣръ, замужество?

— Я уже сказала, что женщина должна быть равна мужчинѣ и должна наравнѣ съ нимъ работать.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Я тутъ ничего не вижу дурного: я вотъ даже сама глажу, шью и иногда сметаю пыль крылышкомъ.

Пришла Анна Николаевна, и разговоры приняли другое направленіе, а именно о новомъ платьѣ вице-губернаторши, о новомъ рысакѣ полиціймейстера и т. д. Дарья Андреевна задумалась надъ Телѣжниковой. Ей казалось, что въ словахъ ея есть и правда и противорѣчіе, что она какъ будто хвастается, говоритъ вычитанное, какъ заученное, а не испытанное на себѣ. Но вотъ чего она не могла понять: какъ это молодая барыня, жена чиновника особыхъ порученій, говоритъ, что женщина должна работать? Что это значитъ? Въ словахъ Телѣжниковой было такъ много новаго, но недосказаннаго, что ей хотѣлось еще поговорить съ нею, чтобы она объяснила ей понятнымъ языкомъ и примѣрами все то, что наговорила ей.

Телѣжникова стала собираться домой. Сборы эти были длинные; нужно было пришпилить что-то на мантильѣ, а она одна не могла этого сдѣлать; нужно было шляпку надѣть, и тутъ безъ посторонней помощи не обошлось и т. п., такъ что Дарью Андреевну, при всемъ ея расположеніи къ Телѣжниковой, взяло сомнѣніе—дѣйствительно ли она умѣетъ гладить манишки и проч. Наконецъ, Телѣжникова собралась совсѣмъ. Поцѣловала Анну Николаевну, протянула руку Марьѣ Андреевнѣ, которая проклинала ее на чемъ свѣтъ стоитъ, и потомъ, протянувъ руку Дарьѣ Андреевнѣ, проговорила:

— Я васъ, милочка, непремѣнно жду къ себѣ завтра не съ визитомъ, а такъ, посидѣть. Мы потолкуемъ.

И она граціозно ушла, сѣла въ пролетку и уѣхала.

— Какова? Славная женщина! Только не люблю я ее за болтовню: говоритъ, говоритъ... Да вѣдь какъ? Въ старину на колѣнки бы поставили. А теперь!.. — проговорила Анна Николаевна, глядя въ окно на отъѣзжающую племянницу.

XVIII.

Прошло полторы недѣли съ тѣхъ поръ, какъ Дарья Андреевна съ сестрой поселилась у дяди. Читатель, я думаю, сердится на то, что Дарья Андреевна все еще только хочетъ поступить куда-нибудь въ магазинъ. Но дѣло въ томъ, что не будь у нея бревна среди дороги — этой родни, будь она безъ всякихъ средствъ къ жизни, безъ куска хлѣба, безъ крова, — она, конечно, не задумалась бы поступить куда-нибудь или взяться за какую-нибудь работу, чтобы заработать себѣ хлѣбъ и кровъ. Но кромѣ этого, ее брала еще боязнь за будущее: рѣшившись на новую жизнь, она уже разъ навсегда должна была прекратить съ родными, изъ которыхъ даже ея прежній другъ, братъ Кузьма, высказался съ насмѣшкой объ ея намѣреніи. Она понимала, что порѣшить съ родней теперь уже не такъ трудно; прежде она не хотѣла оскорбить отца, а объ остальной роднѣ нисколько не думала; теперь же, когда ей только оставалось перескочить бревно, которое раздѣляло два міра—сытый отъ голоднаго, —она боялась попасть въ голодный міръ безъ денегъ, безъ паспорта, и одна-одинехонька, такъ какъ хотя въ этомъ мірѣ и были у нея знакомыя рабочія женщины, но она не знала, какъ примутъ ее, дочь чиновника, онѣ — мѣщанки, привыкшія ко всякимъ лишеніямъ, сидящія иногда безъ хлѣба, но все-таки дорожащія своимъ крошечнымъ спокойствіемъ и не любящія, чтобы въ ихъ жизнь заглядывало лицо постороннее, не принадлежащее къ ихъ сословію. Не будутъ ли и онѣ смѣяться надъ ея желаніями такъ же, какъ смѣялись надъ ней отецъ и братъ, и не отнесутъ ли это къ тому, что вотъ-де барышня и сыта и одѣта, а хочетъ черной работой заниматься изъ-за того, что ей дѣлать нечего и она съ жиру бѣсится? Поэтому она, прежде чѣмъ поступить въ голодный міръ, хотѣла пріобрѣсти изъ него благожелательницъ, которыя бы полюбили ее и рекомендовали кому-нибудь.

Итакъ, Дарья Андреевна, живя у дяди, съ тревогой дожидалась того дня, когда она можетъ покинуть этотъ ненавистный для нея міръ, живущій въ праздности на счетъ бѣднаго міра, а если и дѣлающій что-нибудь, то ради скуки или на показъ, какъ говорила про Телѣжникову кухарка Анны Николаевны, Татьяна. Но и здѣсь Дарья Андреевна не сидѣла сложа руки, иначе ей было бы невыносимо скучно въ этомъ большомъ домѣ, гдѣ все чинно, и весь день распредѣленъ такъ, что вставали, пили чай, обѣдали и проч. въ извѣстные часы, почти что минута въ минуту. На другой же день Анна Николаевна дала Дарьѣ Андреевнѣ свое шелковое платье, которое уже было поношено, но которое, какъ она говорила, было надѣто всего только два раза. Была позвана портниха, которая, подъ надзоромъ самой Анны Николаевны, перекроила это платье, но Дарьѣ Андреевнѣ поговорить съ нею не удалось, такъ какъ портниха пробыла у Анны Николаевны не больше часу. Анна Николаевна не отходила отъ нея ни на шагъ, чтобы та не стащила какого-нибудь лоскутка.

Дарья Андреевна сшила платье въ однѣ сутки. Оно оказалось сшито такъ хорошо, что Аннѣ Николаевнѣ ничего больше не оставалось, какъ похвалить Дарью Андреевну. Марья Андреевна, помогавшая шить платье, злилась, что тетка не подарила и ей платья; она плакала съ досады и зависти и еще больше злилась на сестру, которая ее утѣшала, и на тетку, которая ее конфузила за чаемъ, за обѣдомъ и за чѣмъ попало. Не нравилось это и Дарьѣ Андреевнѣ, но она предчувствовала, что такія благодѣянія и предпочтеніе не даромъ, не отъ чистаго сердца, а съ какою-нибудь цѣлью, что она ни больше ни меньше какъ жертва, которую какъ видно прочатъ вы-

дать замужъ. Вѣдь Ипполитъ Аполлоновичъ еще въ Ильинскѣ обѣщалъ выдать ее замужъ за хорошаго человѣка и говорилъ, что у него и женихъ есть. Все это казалось Дарьѣ Андреевнѣ досаднымъ, и она, рѣшившись выжидать, что̀ изъ этого будетъ, дала себѣ слово не выходить замужъ, и если вслѣдствіе отказа ей будетъ худо, то бѣжать отъ дяди.

Какъ только было окончено платье, Анна Николаевна навалила обѣимъ племянницамъ такъ много работы, что ея хватило бы и на годъ: тутъ была и починка, и перешивка, и надвязка, и прочее. Нѣсколько самыхъ негодныхъ вещей она подарила племянницамъ. Племянницы сѣли за работу. Погода стояла ненастная, такъ-что и въ садикъ было непріятно выходить; солнце не показывалось, небо было сѣрое и покрытое облаками, съ рѣки дулъ рѣзкій, холодный вѣтеръ, такъ-что не отворяли оконъ, отчего въ комнатахъ было душно, темно и грустно. Гуляній въ городѣ въ это время не было, а бывали въ дворянскомъ клубѣ танцы, но Анна Николаевна не возила племянницъ туда, вѣроятно, потому, что находила ихъ недостойными бывать въ этомъ святилищѣ; въ гости она ихъ тоже не отпускала, потому-что боялась, что онѣ развратятся. Она ѣздила съ ними въ свою приходскую церковь, но и тамъ, становясь у лѣваго клироса, ставила ихъ впереди себя, хвастаясь знакомымъ своими благодѣяніями; при этомъ она нѣсколько разъ въ церкви замѣчала, особенно Марьѣ Андреевнѣ, что она вертится, глядитъ по сторонамъ,—однимъ словомъ, не умѣетъ себя держать въ порядочномъ обществѣ. Хотя къ Аннѣ Николаевнѣ и сбирались гостьи, но это были или старухи, или барыни, отъ которыхъ кромѣ хвастовства и сплетенъ ничего путнаго нельзя было добиться.

Наконецъ, прошло двѣ недѣли, наступила суббота. Еще далеко до всенощной наши дѣвицы были одѣты: Дарья Андреевна—въ перешитое платье, которое подарила ей Анна Николаевна, Марья Андреевна тоже въ шелковое платье, данное ей теткой-благодѣтельницей на сегодняшній и завтрашній день; на головахъ ихъ были надѣты сѣтки, въ уши вдѣты золотыя серьги, данныя тоже Анной Николаевной, на ногахъ полусапожки, подаренные Ипполитомъ Аполлоновичемъ. Анна Николаевна ворчала и суетилась, точно сбиралась на балъ. Ипполиту Аполлоновичу было велѣно одѣться въ самое лучшее платье на томъ основаніи, что онъ долженъ вывезти племянницъ въ крестовую церковь, куда онъ ходитъ постоянно и гдѣ ему всѣ, начиная отъ архіерея и кончая старостой, знакомы. Наконецъ, зазвонили ко всенощной, Яковлевы поѣхали. Нечего и говорить о той важности, съ какой Яковлевъ и жена его вошли въ церковь. Сама Яковлева пробралась къ правому клиросу, а дѣвицамъ велѣла стать впереди. Нѣсколько большихъ пѣвчихъ что-то переговорили между собой и хихикали, немногіе помоложе краснѣли. Марья Андреевна не смѣла и взглянуть на клиросъ; но Дарья Андреевна, услыхавши нѣсколько нелестныхъ отзывовъ на ея и ея сестры счетъ, произнесенныхъ пѣвчими, пошла съ своего мѣста далѣе.

— Ты куда?—спросила Анна Николаевна.

— Я подальше пойду, въ народъ.

— Это еще что за выдумки? Здѣсь просторно и лучше пѣніе слышно. Прошу остаться.

Однако, Дарья Андреевна не послушалась и ушла въ середину церкви. «Не уйти ли мнѣ теперь къ брату? Но на мнѣ чужое платье», подумала она. Взглянула она налѣво,—черезъ два человѣка стоялъ братъ и усердно молился. Онъ какъ будто не замѣчалъ ея. «Какъ это онъ не дежуритъ сегодня?»—подумала Дарья Андреевна, и стала глядѣть на него, чтобы онъ замѣтилъ и подошелъ къ ней. Онъ у дяди не былъ уже четыре дня. Но братъ всячески старался не замѣтить ея, а глядѣлъ или въ землю, или впередъ, или направо. «Не можетъ быть, чтобы онъ не замѣтилъ, когда я проходила сюда отъ клироса», подумала Дарья Андреевна и пошла на самый задъ, гдѣ стояли старухи, старики и шалили ребята. Немного погодя, къ ней подошелъ братъ.

— Сестричка, ты зачѣмъ тутъ стала?

— А что?

— На тебѣ хорошее платье. Ты должна стоять съ Анной Николаевной.

— Почему?

— Потому-что ужъ такъ принято.

— А если мнѣ здѣсь нравится?

— А если я тебя прошу?

— Ступай на свое мѣсто, а я здѣсь останусь: здѣсь зѣвать на меня некому.

— Но ты осердишь дядю.

— Глупо, если дядя за это будетъ на меня сердиться.

Братъ ушелъ, а Дарья Андреевна, зная слабость дяди, встала напротивъ лѣваго клироса, такъ что дядя не могъ ея видѣть, а она его видѣла.

Народу уже было много.

Дядя стоялъ у лѣваго клироса у самой рѣшетки и, разговаривая съ дьякономъ, улыбался и самодовольно, какъ сытая обезьяна, поглядывалъ по сторонамъ. Рядомъ съ нимъ стоялъ какой-то пріѣзжій протопопъ въ камилавкѣ и съ наперснымъ крестомъ на груди и еще какой-то высокій молодой человѣкъ, съ чистымъ, красивымъ, но іезуитскимъ лицомъ, съ длинными русыми волосами и въ золотыхъ очкахъ. Всѣ эти три лица то усердно молились, то вдругъ между ними завязывался какой-то горячій споръ; они жестикулировали, улыбались, надменно взглядывали на сосѣдей, точно желая обратить на себя ихъ вниманіе; къ нимъ приставали и пѣвчіе.

— Экіе супостаты, прости Господи! И молиться-то не даютъ,—проговорила какая-то старушка, повидимому, изъ благородныхъ, стоявшая недалеко отъ Дарьи Андреевны.

— Ужъ именно—одинъ соблазнъ,—прибавилъ купецъ вполголоса.

— А вы не смотрите,—замѣтила какая-то барыня, стоявшая рядомъ съ Дарьей Андреевной и до сихъ поръ съ умиленіемъ молившаяся и часто взглядывавшая на нее.—Я васъ ровно гдѣ-то видѣла?—спросила она робко Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна встала на колѣни, потому-что въ это время она замѣтила обернувшееся въ ея сторону побагровѣвшее лицо дяди. Но недолго она стояла и ушла домой.

Пріѣхалъ дядя съ женой и съ Марьей Андреевной. Дядя и тетка были сердиты; Дарья Андреевна лежала на кровати и читала книжку въ то время, когда они пріѣхали. Она слышала, какъ рычалъ дядя и какъ гнусила Анна Николаевна.

— Это чортъ знаетъ что такое!.. Это... это...

— Ну, развѣ я тебѣ не говорила?

— Отстаньте вы отъ меня! Уйти домой, осрамить!

— Маша, позови сюда сестру.

Но Дарья Андреевна сама вышла уже переодѣтая.

— Что это значитъ, что ты ушла изъ церкви?—спросилъ ее грозно Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Голова заболѣла.

— А! Отчего это она могла заболѣть?

— Не знаю, должно быть, отъ жару.

— А ты не могла подойти къ теткѣ и сказать ей, что у тебя голова болитъ? Тогда мы бы всѣ разомъ выѣхали изъ церкви.

— Я думала, что нарушу...

— Смотрите, милостивая государыня!.. У меня чтобы впередъ этой дури не было. Иначе я вѣдь и дверь укажу.

— Я была бы рада этому, дяденька.

— Что такое?!.—А?!—въ испугѣ и въ недоумѣніи спросили супруги.

— Я бы рада была, если бы вы меня отпустили.

— Куда! На распутіе? Ша-алишь, матушка! Шалишь! Завтра мы опять поѣдемъ въ соборъ, и я погляжу, какъ ты будешь шляться по церкви и рѣшишься уйти, не достоявъ до конца обѣдни!—проговорилъ онъ.

Дарья Андреевна ничего не возражала, потому что идти ей было некуда, да и безумно. Одно утѣшеніе оставалось ей—это переговорить съ г-жею Телѣжниковою, которая такъ много тараторила ей о женскомъ трудѣ. Вѣдь звала же ее Телѣжникова къ себѣ почти каждый разъ, какъ бывала у дяди въ домѣ, и ее не отпускали туда потому только, что стояла ненастная погода. Дядя глубоко оскорбилъ ее, хуже даже, чѣмъ дѣлывалъ это отецъ. Теперь уже не оставалось никакого сомнѣнія, что дядя считалъ себя заступающимъ мѣсто отца. Марья Андреевна еще въ церкви испугалась за сестру, хотя сама и стояла какъ на иголкахъ. Она струсила не на шутку, когда дядя зарычалъ на Дарью Андреевну.

— Что ты дѣлаешь, сестрица?—говорила Марья Андреевна сестрѣ, когда онѣ пришли въ отведенную имъ для спанья и занятій комнату.

— Я дѣлаю такъ, какъ всякій на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ бы. Какую такую власть они имѣютъ надъ нами?

— Все-таки нехорошо. А вдругъ онъ прогонитъ?

— Я уже сказала, что очень буду этому рада. Пусть выгонитъ,—пойду къ брату, братъ не выгонитъ, а если братъ не пуститъ, попрошу у него денегъ и найму гдѣ-нибудь дешевенькую комнату: вѣдь вотъ онъ платитъ же за комнату рубль, а съ меня, женщины, можетъ-быть, возьмутъ и дешевле. Ты будешь жить со мной?

— Не знаю, сестрица. Я ужъ лучше поѣду къ брату Осипу.

— А что же ты говорила въ прошлый разъ о жизни у брата? Впрочемъ, это дѣло твое.

Въ воскресенье онѣ были у обѣдни въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ служилъ архіерей. Пѣвчіе пѣли на хорахъ; поэтому Ипполитъ Аполлоновичъ стоялъ уже не у клироса, а около архіерейской каѳедры на видномъ мѣстѣ, и усердно молился для того, вѣроятно, чтобы на него обратилъ вниманіе архіерей. Жена его, считавшая себя причисленною къ высшему кругу, стояла не на лѣвой сторонѣ съ мелкими чиновническими и дворянскими женами, хвостомъ коимъ служили купчихи и мѣщанки, а на правой, позади губернаторши, наравнѣ съ совѣтницами; и такъ какъ былъ солнечный день, то тутъ находилась и мужская часть аристократіи, обрамлявшая женщинъ справа и слѣва, съ полиціймейстеромъ назади, распоряжавшимся, чтобы отъ архіерейскаго мѣста до иконостаса было достаточно проходу. Во время херувимской возлѣ Дарьи Андреевны встала Телѣжникова, шурша длиннымъ шлейфомъ своего атласнаго платья; на головѣ ея была маленькая шляпка, въ ушахъ золотыя серьги, на шеѣ золотая цѣпочка. Она кокетливо раскланивалась и улыбалась молодымъ мужчинамъ и дамамъ.

— А! И вы здѣсь. Здравствуйте,—обратилась она къ Дарьѣ Андреевнѣ и протянула ей руку, на которой была надѣта желтая перчатка.

Когда Дарья Андреевна подала свою руку, то Телѣжниковой сдѣлалось какъ-будто конфузно, но она впрочемъ подала Дарьѣ Андреевнѣ только два пальца и скоро ихъ отдернула.

— Ну, какъ дѣла?—спросила она.

— Какія у меня дѣла!

— А я, душечка, смучилась. Концертъ устраиваю.—И тотчасъ же обратилась къ молодому мужчинѣ, съ которымъ и заговорила по-французски.

— А вы читали «Отцовъ и Дѣтей»?—спросила она опять Дарью Андреевну.

— Да. Я уже возвратила ихъ вамъ.

— Ну, какъ вы находите?

— Написано хорошо, но я такихъ людей не видала.

— Какая же вы право...

И она опять заговорила по-французски съ молодымъ человѣкомъ, улыбаясь; тотъ смѣялся.

«Эта барыня кажется не можетъ ни одной минуты прожить не болтавши», подумала Дарья Андреевна.

— Приходите ко мнѣ сегодня обѣдать часовъ въ пять. Мой мужъ такъ занятъ, что мы раньше никакъ не можемъ обѣдать.

— Онъ и въ праздники занятъ?

— Пожалуйста, не острите! Конечно, и въ праздники. Вотъ, напримѣръ, сегодня онъ пойдетъ въ часъ къ губернатору, и тотъ его продержитъ долго... Я бы не пошла сегодня сюда. Я вѣдь рѣдко хожу въ церковь, но мужъ говорилъ, сегодня какой-то магистръ будетъ сказывать проповѣдь безъ тетрадки, наизусть. Это любопытно. Какъ вы думаете, душечка?

— Я, по крайней мѣрѣ, никогда не видала такихъ.

— Кто онъ? Вамъ не говорилъ дяденька?

— Нѣтъ.

— Ахъ, здравствуйте, Марья Андреевна. Я васъ

и не замѣтила,—обратилась она къ Марьѣ Андреевнѣ, но руки ей не подала.

Та поклонилась. Телѣжникова отошла отъ нихъ, какъ будто знакомство это компрометировало ее.

Наконецъ, поставили аналой лицомъ къ народу, изъ алтаря вышелъ въ стихарѣ молодой человѣкъ. Перекрестившись и проговоривши обычное «Во имя Отца», онъ спряталъ руки подъ стихарь и началъ говорить, глядя въ потолокъ. Сперва щеки его покраснѣли, тоненькій голосъ дрожалъ, запинался, но потомъ онъ справился, взглянулъ на народъ, остановился, покраснѣлъ... Но онъ какъ видно былъ не изъ робкихъ: тотчасъ же вытащивъ изъ-подъ стихаря клочекъ бумажки, онъ, положивъ ее на аналой и взглянувъ на нее, сказалъ текстъ изъ священнаго писанія, и пошелъ, и пошелъ, да такъ заговорилъ бойко, что самъ губернаторъ—изъ военныхъ генераловъ—подвинулся къ нему ближе, а за губернаторомъ подвинулась и другая знать изъ пожилыхъ людей, въ томъ числѣ и Ипполитъ Апполоновичъ. Проповѣдникъ былъ красивъ, оживленъ, молодъ и къ тому же это было первое лицо изъ молодыхъ людей, говорившее въ этомъ соборѣ наизусть. Все это удерживало большинство публики въ церкви, а дамы ахали и краснѣли, когда онъ запинался или останавливался; только одни пѣвчіе разбѣжались курить въ сторожку.

— Ахъ, какой душка!—говорила Марья Андреевна.

— Рисуется,—отвѣчала Дарья Андреевна.

Марья Андреевна надула губы и отвернулась отъ сестры.

— Не знаете на комъ онъ женится?—спрашивалъ какой-то молодой чиновникъ другого.

— Нѣтъ. А что?

— Такъ. Онъ далеко пойдетъ.

Молодой проповѣдникъ кажется готовъ былъ ораторствовать безъ устали, но на хорахъ сильно закрякали пѣвчіе, въ алтарѣ стали подергивать завѣсой, закрякалъ и протодьяконъ, и онъ, не кончивши фразы, вдругъ сказалъ: «аминь», поклонился и ушелъ. Народъ вздрогнулъ, потому что изъ его словъ рѣшительно нельзя было ничего понять, такъ что купцы и старухи, привыкшіе къ проповѣдямъ, изложеннымъ простымъ слогомъ, въ которыхъ проповѣдникъ говорилъ о наказаніи за грѣхи и о спасеніи за благочестивую жизнь, не на шутку вознегодовали. Многіе пошли домой. Пошла и Телѣжникова. За ней шелъ ея мужъ, высокій, худощавый мужчина, съ рыжими курчавыми волосами, съ веснушками на лицѣ, съ густыми рыжими бакенбардами и въ золотыхъ очкахъ. Ему на видъ было годовъ тридцать пять.

Она рекомендовала мужу Дарью Андреевну, тотъ слегка кивнулъ головой и, подхвативъ какого-то чиновника, пошелъ съ нимъ, покачиваясь на обѣ стороны и вытягивая животъ.

— Ну что, понравилась проповѣдь?—спросила Телѣжникова Дарью Андреевну.

— Ничего не поняла.

— И я тоже. Но самъ-то онъ... какъ вы его находите?

— Много о себѣ думаетъ.

— Какъ вы строги! Смотрите же, приходите, я буду ждать свиданія.

Дарья Андреевна хотѣла сказать, что у дяди по праздникамъ въ это время уже пьютъ чай, но Телѣжникова уже пошла, здороваясь съ дамами и мужчинами.

По окончаніи обѣдни Ипполитъ Аполлоновичъ послалъ своихъ дамъ домой—къ удивленію Дарьи Андреевны — пѣшкомъ. Анна Николаевна на его приказаніе сказала только: «смотрите, поскорѣе», и онѣ пошли, а Ипполитъ Аполлоновичъ пошелъ за архіереемъ вмѣстѣ съ губернаторомъ и нѣсколькими губернскими тузами.

Погода, несмотря на начало сентября, была хорошая. Солнце хотя и не смотрѣло по-лѣтнему, но грѣло; на улицахъ было сухо, вѣтру не было, но уже попахивало осенью; воздухъ былъ сырѣе, съ деревьевъ падали желтые листочки.

Дома Дарья Андреевна замѣтила, что у дяди что-то затѣвается. Такъ, въ столовой былъ накрытъ большой столъ, на которомъ стояло нѣсколько бутылокъ съ различными винами, появилось два лишнихъ прибора, изъ чего она заключила, что будутъ два гостя.

Наконецъ, явились и гости, пріѣхавшіе съ Ипполитомъ Аполлоновичемъ. Это были: сегодняшній проповѣдникъ и протопопъ, вчера разговаривавшій съ дядей. Начались представленія. Протопопъ оказался благочиннымъ Зубовскаго уѣзда этой же губерніи, Кирилла Максимовичъ Македонскій, а проповѣдникъ его сынъ, Афиногенъ Кириллычъ Македонскій—магистръ духовной академіи, желающій служить въ Егорьевскѣ въ духовномъ званіи.

Афиногенъ Кириллычъ велъ себя развязно. Видно было, что онъ не принадлежалъ къ несчастнымъ бурсакамъ, съ дѣтства не видалъ горя, а находился въ кругу чиновнаго духовенства или духовной аристократіи и зналъ также свѣтское общество. Онъ былъ мастеръ говорить, — говорилъ увлекательно, хотя и вздоръ, но все-таки въ немъ нельзя было отрицать ума, и если бы онъ попалъ на другую почву, то изъ него вышелъ бы хорошій человѣкъ; теперь же въ немъ проглядывалъ только схоластикъ, который вбилъ себѣ въ голову стремленіе быть священникомъ и воспитателемъ юношества. Онъ скоро овладѣлъ Дарьей Андреевной, разсказывая ей разные анекдоты изъ училищной и академической жизни, острилъ надъ учителями и профессорами, разсказывалъ разныя продѣлки надъ начальствомъ и хвастался своею ученостію, съ которою онъ далеко пойдетъ. Ипполитъ Аполлоновичъ и жена его, видя, какъ молодой Македонскій увлекся ихъ племянницей, которая съ своей стороны тоже какъ будто весела, потирали руки отъ удовольствія. Марья Андреевна грызла зубами губы и до обѣда успѣла два раза выплакаться въ своей комнатѣ изъ зависти, что молодой проповѣдникъ обратилъ вниманіе на ея сестру, а на нее и не смотритъ. Только за обѣдомъ, когда она выпила рюмки три вина, она успокоилась. Она стала радоваться предстоящему счастью Дарьи Андреевны потому, что если сестра выйдетъ за Македонскаго замужъ, то она будетъ жить у сестры,

которая ее ничѣмъ не обидитъ; а, живя у сестры, она скорѣе выйдетъ замужъ за священника. Но Дарьѣ Андреевнѣ женихъ показался противенъ, хотя и былъ красивъ, и носилъ золотыя очки. Еще болѣе она возмутилась тѣмъ, что по окончаніи обѣда стали пить шампанское за ея здоровье. «Какъ они смѣютъ, не спросясь меня, располагать моей судьбой?», думала она, и когда брала бокалъ, то грудь ея замѣтно вздымалась. Она хотѣла бросить этотъ бокалъ на столъ и убѣжать, но удержалась и, не глядя на молодого Македонскаго и другихъ лицъ, молча чокнулась съ ними и выпила.

Послѣ обѣда она быстро ушла въ свою комнату, заперлась и заплакала.

— Даша! а Даша!—стучась въ дверь, говорила Анна Николаевна.

— Что угодно, тетенька?

— Выдь сюда, что это за срамъ такой! Тамъ гости, а она ушла и заперлась.

Она отперла дверь и сказала:

— Увольте меня, тетенька, отъ гостей.

— Что это значитъ, Дарья Андреевна? Что это вы за комедіи играете?—проговорила тетка, входя въ комнату.

— А никакихъ не играю комедій: я нездорова. Если же вамъ непремѣнно хочется, чтобы я вполнѣ исполняла ваши приказанія, то прошу васъ отпустите меня. Я пойду къ брату Кузьмѣ, поѣду домой Не мучьте меня, милая, добрая тетенька!..

— Господи! Что я слышу!—всплеснула руками Анна Николаевна и сѣла.—Послушай, Даша,—начала она:—твоя жизнь неказиста. У тебя нѣтъ отца, который бы защитилъ тебя, укрылъ, оберегъ; мачеха тебя не любитъ, да ты и сама говорила, что тебѣ опротивѣлъ Ильинскъ; къ Осипу ты тоже не расположена, да и я не долюбливаю его жену. Ты надѣешься на Кузьму, но сама посуди, можно ли тебѣ жить у него: во-первыхъ, онъ живетъ въ лачугѣ; во-вторыхъ, содержать тебя онъ не въ состояніи, потому-что получаетъ маленькое жалованье, а въ-третьихъ, едва ли онъ согласится взять тебя къ себѣ. Остаемся значитъ мы, единственные ближніе твои родственники, которые всегда тебя любили и лелѣяли, которые любятъ тебя теперь и желаютъ тебѣ добра. Повѣрь, Даша, что мы тебя любимъ, какъ будто ты наша дочь. Вотъ Маша—другое дѣло: мы изъ человѣколюбія благодѣтельствуемъ ей, а тебѣ—ради нашей привязанности въ тебѣ. Повѣрь, Даша, что кромѣ насъ никто не будетъ стараться о тебѣ,—бѣдной, беззащитной, безпріютной дѣвушкѣ и притомъ дѣвушкѣ довольно красивой по нынѣшнему времени. Ходили здѣсь слухи, что ты будто бы хотѣла выйти замужъ за мѣщанина. Не перебивай, а выслушай до конца. Что жъ? Намъ до этого нѣтъ дѣла. Но надо принять то въ соображеніе, что мѣщанская жизнь не очень привлекательна. Ты—дочь чиновника, ты, такъ сказать, дворянка, и вдругъ ты дѣлаешься женой мѣщанина, присоединяешься къ обществу бѣдняковъ, мошенниковъ, конокрадовъ и головорѣзовъ. Положимъ, тебѣ нравится этотъ молодецъ; онъ красивъ, силенъ, честенъ—какъ въ книгахъ писано. Хорошо. Ты жена, и съ перваго же дня должна будешь почувствовать сладость этой жизни: ты жена и работница; ты все должна сама дѣлать, потому что въ мѣщанствѣ не принято нанимать прислугу. А ты не привыкла къ тяжелой работѣ. Ты и наружностью должна преобразиться въ мѣщанку: вмѣсто шелковаго платья должна носить ситцевое, вмѣсто сапожковъ—грубыя, какъ ихъ называютъ...

— Ботинки, тетенька.

— Ну, да. Вмѣсто шляпки—косынку, вмѣсто салопа—шугай, и во всемъ этомъ должна бѣгать по городу съ молокомъ, торговать на рынкѣ сапогами, убирать навозъ. Ужъ одно это будетъ тебя безпокоить. Потомъ мужъ будетъ тебя бить. Наконецъ онъ можетъ умереть, и у тебя останутся дѣти. Что тогда? Ужъ родня твоя съ отцовской стороны и на порогъ не пуститъ тебя. Остается голодать, работать на дождѣ, на морозѣ. Вотъ о чемъ ты, дѣвушка нѣжнаго сложенія, образованная, не подумала. Слышали мы также, что ты отказала двумъ засѣдателямъ, и мы въ этомъ не обвиняемъ тебя. Тогда, при отцѣ, не было надобности торопиться замужествомъ. А теперь не то. Здѣсь положимъ образованныхъ чиновниковъ много, но имъ нужно богатое приданое, а у тебя его нѣтъ. Но какъ тебя, такъ и сестру твою, мы скоро выдадимъ замужъ. Маша не требовательна,—ей уже есть на примѣтѣ женихъ; но тебѣ не такъ-то легко было найти. Однако мы нашли. Этотъ женихъ—Македонскій. Что же? Это кладъ. Черезъ полгода по посвященіи въ священники онъ будетъ протопопомъ, ему дадутъ церковь, онъ будетъ во главѣ прихода, а ты — *матушка*-протоіерейша! Да я, ей-Богу, завидую твоей участи. Что жъ ты на это скажешь?

— Позвольте, тетенька, подумать.

— Подумай, подумай, дитя мое. — Она обняла Дарью Андреевну и поцѣловала. — Онъ пріѣдетъ завтра и долженъ получить отвѣтъ.

— Позвольте мнѣ, тетенька, сходить къ Екатеринѣ Алексѣевнѣ. Она убѣдительно звала меня къ себѣ.

— Сходи, сходи. Она хоть и болтушка, но женщина не глупая. Посовѣтуйся. Можетъ-быть, она возьметъ тебя въ клубъ: тамъ ты повеселишься.

— Поздравляю тебя, Маша: ты скоро будешь замужемъ,—сказала Дарья Андреевна сестрѣ, когда та вскорѣ по уходѣ тетки пришла въ комнату. Марью Андреевну чуть не бросило въ обморокъ.

— Ты счастливѣе меня: тебя хоть предупреждаютъ, а меня наши благожелатели вдругъ, не говоря ни слова, толкаютъ замужъ за перваго встрѣчнаго.

— Какъ такъ? Я не понимаю,—спросила Марья Андреевна.

— Благожелательница объявила, что тебя скоро выдадутъ замужъ за чиновника. Ужъ есть на примѣтѣ.

— Не пойду.

— Пойде-ешь!

XIX.

Телѣжниковы жили во второмъ этажѣ большого каменнаго дома, стоящаго на Петербургской улицѣ.

Въ нижнемъ этажѣ помѣщались разные магазины. Когда Дарья Андреевна позвонила, то дверь отперъ лакей въ коричневомъ пиджакѣ,—человѣкъ лѣтъ подъ тридцать.

— Вамъ кого угодно?—спросилъ онъ Дарью Андреевну, оглядывая ее съ нахальствомъ.

— Катерину Алексѣевну.

— Онѣ спятъ. А вы отъ кого? Изъ магазина?

— Нѣтъ, я отъ себя.

— Спятъ-съ. Приходите опосля.

— Вы доложите, что приходила племянница совѣтника Яковлева и зайдетъ опять.

— Хорошо-съ.—Лакей посмотрѣлъ на нее подозрительно и заперъ дверь.

Тяжело сдѣлалось на душѣ Дарьи Андреевны, когда она спускалась съ лѣстницы. Ее мучило то, что она шла за милостью. Какъ бы Телѣжникова ни была проста и добра, но все-таки она барыня. Она и въ разговорахъ съ нею ведетъ себя свысока. Какое же тутъ можетъ быть равенство, дружба, которой такъ желала Телѣжникова. «Нѣтъ, это люди не нашего сорта, они смѣются надъ нами. Нехорошо намъ кляньчить у нихъ: это все равно что просить милостыню и потомъ замаливать ихъ грѣхи, а они будутъ хвастаться своими добродѣтелями и въ душѣ презирать мелкоту, высказывая ей наружное благоволеніе. Ужъ идти ли полно къ ней?»—думала она, идя по каменному тротуару. Улица, по которой она шла и на которой жили Телѣжниковы, была одна изъ лучшихъ въ городѣ. Она была широка, дома на ней каменные, двухъ и трехъэтажные, построенные большею частью всплошную; рѣдкій домъ отдѣлялся отъ другого заплотомъ, сверхъ котораго высились или старинныя деревья, или молодыя деревца—признакъ, что здѣсь живетъ купечество. Въ нижнихъ этажахъ помѣщались или магазины, или лавки, или погреба, которыхъ впрочемъ по тому времени было немного. Пестрѣло нѣсколько вывѣсокъ портныхъ, сапожныхъ дѣлъ мастеровъ; одна вывѣска гласила, что тутъ модный магазинъ m-me Миллеръ, а на окнахъ разставлены картинки парижскихъ модъ; потомъ шла женская гимназія, второе уѣздное училище, губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, врачебная управа и другія зданія. На улицѣ были поставлены столбы съ фонарями, которые зажигались въ темныя ночи; по ней шелъ телеграфъ. Она была оживлена. Поминутно кто-нибудь да ѣхалъ: кто въ каретѣ, кто въ коляскѣ, кто въ телѣгѣ; взадъ и впередъ шло тоже много разнаго народу: шли городскіе франты, чиновники, семинаристы въ длинныхъ сюртукахъ или казенныхъ шинелькахъ, гимназисты въ форменныхъ сюртукахъ и фуражкахъ, барыни въ шляпкахъ, люди, принадлежащіе къ разночинцамъ, солдаты и проч. Кое-гдѣ передъ домами, стоя у тротуара, наигрывалъ на шарманкѣ итальянецъ: «Не шей ты мнѣ, матушка» или «Не уѣзжай, голубчикъ мой», а рядомъ съ нимъ испитая его дочь картавымъ, противнымъ голосомъ изо всѣхъ силъ подтягивала ему; кое-гдѣ мужчины въ красныхъ рубахахъ и въ бѣлыхъ фартукахъ выкрикивали сбитень, сахарно морожено, кое-гдѣ татары въ бѣлыхъ шляпахъ, сложенныхъ въ видѣ уха, выкрикивали ломанымъ языкомъ: одни—яблоки, лимоны, ананасы, другіе—духи, мыло, гребенки. Дарья Андреевна замѣтила, что нарядный народъ идетъ и ѣдетъ больше въ одну сторону, а именно по направленію къ городскому саду, но она уже далеко забралась отъ дома Телѣжниковой и посмотрѣла на часы, выставленные на окнѣ одного часового магазина: оказалось, что она уже ходитъ около часу.

Когда она вновь пришла къ квартирѣ Телѣжниковой, то лакей вѣжливо сказалъ, что барыня долго изволила дожидаться ее и уѣхали въ модный магазинъ, а ее просила подождать въ залѣ, потому что скоро хотѣла быть.

— Въ какой же она магазинъ уѣхала?

— А вонъ тамъ на Переѣзжей улицѣ къ мамзелѣ Петерсонъ. Онѣ постоянно тамъ заказываютъ и берутъ, что требуется. Пожалуйте-съ,—и онъ провелъ ее въ залу.

Зала просторная; окна ея выходили на улицу; на окнахъ кисейныя занавѣски съ позолоченными карнизами, карнизъ у потолка тоже позолоченъ. Стѣны залы оклеены палевыми обоями, на противоположныхъ окнамъ стѣнахъ висѣли картины, большею частію изображающія виды, рамки на нихъ простыя; между оконъ зеркала и около нихъ небольшіе столики, полъ паркетный; въ переднемъ углу небольшой образъ Спасителя въ позолоченномъ окладѣ. Въ залѣ стоитъ рояль со множествомъ нотъ. Стулья мягкіе, покрыты бѣлыми чехлами. Изъ залы два хода—одинъ напротивъ входныхъ дверей, другой направо. Тѣ двери, что напротивъ, были заперты, а другія закрыты портьерой голубого цвѣта.

Разсмотрѣвши картины, Дарья Андреевна стала ходить по комнатѣ. Скучно. Что-то скажетъ ей молодая барыня? Ужъ вѣрно, что ждать ей отъ нея нечего, потому-что она звала ее и уѣхала. Впрочемъ у нея, можетъ-быть, много дѣлъ. А живутъ они, какъ видно, просто: ни цвѣтовъ, ни птицъ у нихъ нѣтъ, и не замѣтно той давящей обстановки, какъ у дяди. Время, казалось ей, шло долго. Она отъ нечего дѣлать стала глядѣть въ окно, но и тамъ все одно и то же—трескъ на мостовой, крики татаръ, мальчиковъ и мужчинъ, завыванія шарманки и женщины. «Какъ неловко дожидаться по своему дѣлу; такъ вотъ и кажется, что кто-то изъ тебя душу тянетъ. Должно быть эти господа любятъ, чтобы ихъ ждали». Въ это время изъ-за портьеры высунулся самъ Телѣжниковъ. Онъ былъ во фракѣ, въ высокой круглой шляпѣ; подъ мышкой держалъ тросточку, въ лѣвой рукѣ перчатки, въ правой сигару.

— Ахъ, здравствуйте! Извините, пожалуйста: Катя ушла по дѣлу въ магазинъ. Она сейчасъ пріѣдетъ,—проговорилъ онъ скороговоркой, расшаркиваясь и кладя шляпу и перчатки на рояль.

Дарья Андреевна поклонилась, ей сдѣлалось неловко.

— Садитесь пожалуйста!—и онъ поставилъ ей стулъ, дѣлая движеніе рукой, чтобы она сѣла.

Дарья Андреевна сѣла. Неловкость не проходила.

— А вѣдь мы васъ ждали обѣдать! Обманщица!—И онъ съ ловкостью танцора придвинулъ къ ней кресло и сѣлъ въ него развалившись; затѣмъ всунулъ

въ ротъ сигару и впился глазами въ Дарью Андреевну, какъ судебный слѣдователь.

— У насъ были гости—тетенька не отпустила,—отвѣчала Дарья Андреевна.

— А-а!..

Пауза.

— Ну, какъ вы находите нашъ городъ?

— Я въ немъ была уже нѣсколько разъ.

— А-а! Надолго пріѣхали?

— Не знаю. Хотѣлось бы остаться.

— Конечно. Вѣдь у васъ тамъ скука смертельная! Ни клуба, ни танцевъ, ничего...

— Это правда.

— Ахъ, виноватъ... вы курите? Извините за нескромность...

— Курю.

Телѣжниковъ вынулъ изъ фрака портъ-сигаръ и предложилъ папироску.

— Я слышалъ, у васъ тамъ въ Ильинскѣ большой домъ? спросилъ онъ послѣ небольшой паузы.

— Да. Только толку отъ него мало. Домъ старый, требуетъ большой починки. Если бы такой домъ былъ здѣсь...

— Да. Вотъ, напримѣръ, здѣшній домъ: за него смѣло дадутъ двадцать тысячъ. Онъ одного доходу приноситъ хозяину тысячу рублей въ годъ.

Опять замолчали. Телѣжниковъ смотрѣлъ на Дарью Андреевну и, повидимому, тяготился ею; Дарья Андреевна хотя и не чувствовала уже прежней неловкости, но ее удивляло, что хозяинъ до крайности молчаливъ. Неужели онъ вездѣ такой? Вонъ жена его, такъ та ни одной минуты не можетъ обойтись безъ того, чтобы не говорить. «Эдакая я, право, ненаходчивая!»—упрекала она себя. Папироска догорѣла и она держала окурокъ въ рукѣ, не зная, что съ нимъ сдѣлать. Бросить нехорошо, въ карманъ положить—забудешь выбросить. Телѣжниковъ видѣлъ это замѣшательство, но молчалъ. Наконецъ, онъ всталъ.

— Извините, пожалуйста, мнѣ некогда, — сказалъ онъ раскланиваясь.

— Я пойду тоже.

— О, полноте! Катя сію минуту пріѣдетъ. Да вотъ и она.

Въ прихожей раздался звонокъ, хозяинъ раскланялся съ гостьей и быстро ушелъ въ прихожую съ шляпой и перчатками. Дарья Андреевна осталась въ залѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ, поговоривши съ мужемъ по-французски и поцѣловавши его нѣсколько разъ, въ залу явилась и Телѣжникова, держа въ рукѣ картонку.

— Ахъ, душечка!—И она быстро поцѣловала ее, потомъ отошла отъ нея на два шага и, сдѣлавъ трагическую позу, спросила по театральному: —Позвольте васъ спросить, почему вы не явились къ обѣду?

— Потому-что... сказать ли вамъ почему?

— Почему?

— У насъ обѣдалъ мой женихъ.

— Вашъ женихъ?! Въ своемъ ли вы умѣ!?— Телѣжникова усѣлась противъ гостьи.

— Да. И знаете кто? Отгадайте!

— Ужъ не чумазый ли проповѣдникъ? Охъ, какъ я ихъ терпѣть не могу!

— А сами что говорили въ церкви?

— Нельзя же вѣрить всему, что говоришь. Неужели онъ?

— Онъ.

— Поздравляю! — Телѣжникова встала и съ усмѣшкой раскланялась.

— Не поздравляйте: я за него не пойду.

Телѣжникова сѣла.

— Почему? Вѣдь вы попадьей будете?

— Не хочу—и все тутъ. Я вотъ къ вамъ пришла за совѣтомъ и съ просьбой. Вы такъ много говорили о женскомъ трудѣ, что я надѣюсь, вы поможете мнѣ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Мнѣ давно не нравится эта жизнь,—жизнь на чужой счетъ. Я, если бъ хотѣла, давно бы вышла замужъ, но я не хочу быть обязанной мужу. Я хочу, чтобы у меня были свои деньги и чтобы мужъ не упрекнулъ меня, что я ѣмъ, живу на его счетъ.

— А любовь?

— Любовь сама собой. По крайней мѣрѣ, мнѣ не пришлось найти такого человѣка. Правда, былъ одинъ, да далъ тягу. Тутъ вышло неравенство. А я именно равенство и хочу найти.

— Но гдѣ и какъ?

— Неужели и у васъ съ мужемъ нѣтъ равенства?

— О, я этого не говорю: мужъ меня любитъ и не запрещаетъ мнѣ тратить деньги.

— Это не равенство, потому что вы тратите чужія деньги.

— Да вѣдь онъ же мужъ мнѣ?

— Такъ. Но если вы много будете тратить, у него не достанетъ жалованья.

— Какое странное предположеніе! Оно положимъ, что онъ женился на мнѣ по любви и не требовалъ приданаго, какъ это водится у другихъ, но вѣдь у него есть помѣстье, да и я обучаю дѣтей. Правда, я не беру съ нихъ денегъ, потому что родители ихъ люди бѣдные и какъ-то стыдно брать копейки.

— Въ прошлый разъ вы мнѣ говорили, что женщина должна трудиться, чтобы не быть праздной, и вы указали даже на то, что вы сами гладите...

Лицо Телѣжниковой вспыхнуло.

— Вы меня совсѣмъ не поняли, моя милая. Я говорила, что мы должны подавать примѣръ бѣднымъ женщинамъ, положеніе которыхъ безвыходно. Я говорила, что эти женщины, чтобы имъ избѣжать каторжной жизни, должны трудиться и трудомъ жить самостоятельно. Наше же положеніе таково, что мы обезпечены со стороны мужа...

— Позвольте, Катерина Алексѣевна. Могутъ быть такія обстоятельства, что или вы разлюбите мужа, или онъ васъ...

Телѣжникова задумалась.

— Ну? Тогда что по-вашему?

— Тогда, по-моему, вы будете сами желать себѣ труда и не такъ будете говорить о женскомъ трудѣ, какъ теперь. Теперь вы сыты. Если вамъ нечего дѣлать—вы дѣтей учите, манишки гладите, а тогда, если вамъ придетъ въ голову разойтись съ мужемъ, надо чѣмъ-нибудь жить. Я о разводѣ потому говорю, что вы сами же о немъ много разсуждали.

— Да, это—пожалуй... Но у насъ съ мужемъ до этого не дойдетъ... Однако, душечка, извините... мнѣ надо въ клубъ ѣхать.—Телѣжникова подошла къ двери съ портьерой и крикнула: Аннушка! Въ залъ вошла дѣвушка годовъ 17-ти, черноволосая и рябоватая. Телѣжникова отдала ей картонку, перчатки и велѣла приготовить бальное платье.

Когда горничная ушла, Дарья Андреевна встала и робко проговорила Телѣжниковой:

— Я къ вамъ съ просьбой: не можете ли вы рекомендовать меня въ какой-нибудь швейный магазинъ?

— Вамъ это зачѣмъ же?

— Я хочу жить работой.

— Это, можетъ-быть, я васъ сбила съ толку. О, какъ вы, душечка, легкомысленны: вѣдь я говорила о бѣдныхъ женщинахъ и дѣвушкахъ.

— Значитъ все, что вы говорили...

— Нѣтъ... Но зачѣмъ же вамъ непремѣнно нужно въ магазинъ идти? Если вы хотите работать, то я достану вамъ работу на домъ.

— Для того чтобы мнѣ шить или вообще работать на дому, нужна квартира. А дядя, вы знаете, не допуститъ, чтобы я въ его домѣ занималась работой на сторону.

— Отчего не позволитъ? Теперь прогрессъ.

— Едва ли онъ понимаетъ этотъ прогрессъ, да и я сама не желаю у него жить. Стало быть, мнѣ нужна квартира, а на квартиру нужны деньги; кромѣ этого, нужно ѣсть, пить, башмаки...

— Живите у насъ.

— Покорно благодарю. Замужъ, какъ вамъ извѣстно, я идти не хочу; жить въ Ильинскѣ не могу, у брата жить неловко; остается куда-нибодь поступить. Я бы пошла сама, но мнѣ магазинщицы незнакомы.

Телѣжникова подумала.

— Хорошо, завтра я съѣзжу къ Петерсонъ. Вамъ будетъ завтра время зайти ко мнѣ вечеркомъ?

— Я зайду.

Телѣжникова подала ей руку и проводила ее до дверей.

Дарья Андреевна разочаровалась въ Телѣжниковой. Теперь она ей болѣе прежняго показалась барыней-хвастуньей. И раньше ей неловко становилось, когда Телѣжникова заводила разговоръ о *возвышенныхъ* предметахъ, какъ она сама выражалась, которые трудно было осилить Дарьѣ Андреевнѣ и которые даже она сама не умѣла объяснить надлежащимъ образомъ фактами и примѣрами. Какъ у дяди было тѣсно, душно и царилъ какой-то гнетъ, такъ у Телѣжниковыхъ было пусто, вѣяло холодомъ и одуряющими ароматами. А вѣдь какъ легко и свободно Телѣжникова относилась ко всему: она толковала о женскомъ трудѣ, восходя въ своихъ сужденіяхъ чуть ли не до занятія женщинами всѣхъ государственныхъ должностей; она осуждала настоящія условія брака, желая свободныхъ отношеній обоимъ поламъ; она казалась многознающей въ литературѣ и цитировала различныхъ поэтовъ, мѣшая Пушкина съ Байрономъ, Гёте съ Гейне и т. д. Но какъ только Дарья Андреевна пришла къ ней за помощью, потребовала примѣненія ея теоріи къ практикѣ. она повернула оглобли назадъ и казалось готова была отречься отъ всѣхъ своихъ словъ.—Я, говоритъ, говорила это не о васъ, а о другихъ бѣдныхъ женщинахъ.—«А чѣмъ я лучше ихъ?.. Она испугалась, когда я сказала, что хочу жить своей работой,—это вы, говоритъ, меня, дуру, послушали! Не вѣрьте, я все вздоръ говорила, чтобы одурачить васъ...—Такъ вотъ онѣ каковы, эти хвастуньи! Ужъ идти ли мнѣ къ ней? Пожалуй, надуетъ. Ну, если надуетъ, я сама къ Петерсонъ пойду». Такъ думала Дарья Андреевна, идя домой.

Дарья Андреевна во всю свою жизнь встрѣтила только первую женщину-либералку въ г-жѣ Телѣжниковой. Телѣжникова причисляла себя къ разряду новыхъ людей, но въ сущности принадлежала къ разряду множества ей подобныхъ, которые только портятъ хорошее дѣло, не сознавая, по своей глупости, что они оказываютъ честнымъ и хорошимъ людямъ медвѣжью услугу. Подобные люди хватаются за все новое и, не разобравъ ничего, мѣшаютъ все вмѣстѣ, говорятъ книжнымъ языкомъ, стараясь выдать чужое за свое, — благо у нихъ много свободнаго времени на разъѣзды по гостямъ. Выскажетъ ли умный человѣкъ новое слово, новый взглядъ на вещи, они начнутъ хвастаться передъ другими этими словами, и исказятъ ихъ до безобразія; выйдетъ ли новый романъ, въ которомъ изъясняется, что такъ жить, какъ мы теперь живемъ, не годится, а что вотъ бы какъ слѣдовало жить,— они въ восторгѣ, хвалятъ романъ и корчатъ изъ себя героинь, которыя изображены въ романѣ. Прочитаютъ они Бокля, Дарвина, Фогта или другого какого-нибудь ученаго, поймутъ сотую часть—и вотъ опять тема для разговора... Въ Телѣжниковой напусканіе на себя новизны произошло вскорѣ по обнародованіи манифеста объ освобожденіи крестьянъ. Дѣло въ томъ, что въ апрѣлѣ въ Егорьевскъ пріѣхали новый губернаторъ, предсѣдатели уголовной палаты и палаты имуществъ. Эти три лица сказали своимъ подчиненнымъ рѣчи, въ которыхъ высказали, что они люди новые и злоупотребленій не потерпятъ. Начались объѣзды по губерніи; полетѣли старики-чиновники въ отставку; ихъ замѣнила молодежь, которая, при всемъ своемъ усердіи къ дѣлу, не могла сразу привести запущенныя дѣла въ порядокъ и скоро охладѣла, махнула на все рукой и предоставила веденіе дѣлъ своимъ приближеннымъ. Эти люди заговорили по-новому: объ уничтоженіи откуповъ, о гласномъ судопроизводствѣ, но это было многими говорено только потому, что не хотѣлось прослыть за отсталыхъ людей, въ душѣ же они крѣпко не долюбливали эту новизну. Начальство не препятствовало болтать... Оно и само вступало въ споры о прогрессѣ, желая прослыть гуманнымъ и либеральнымъ, но въ то же время въ волненіяхъ крестьянъ, происходившихъ отъ недоразумѣній, видѣло бунтъ. За этимъ мужскимъ обществомъ потянулись и дамы, потому что новопріѣхавшія губернаторша и жены предсѣдателей были женщины молодыя, съ институтскимъ образованіемъ. Онѣ старались быть вѣжливыми съ прислугой, принимали участіе въ благотворительныхъ спектакляхъ, читали и играли на литературно-музыкальныхъ вечерахъ

и не спѣсивились сидѣть и разговаривать съ женой какого-нибудь секретаря, впрочемъ въ такомъ лишь случаѣ, если этотъ секретарь былъ изъ кончившихъ курсъ въ университетѣ. Къ этому лагерю скоро пристала и Катерина Алексѣевна. Отецъ ея былъ небогатый помѣщикъ, имѣвшій нѣсколько крестьянъ въ этой губерніи. Онъ служилъ асессоромъ въ судебной палатѣ и между товарищами слылъ за человѣка дикаго, потому—что ругалъ помѣщиковъ за жестокое обращеніе ихъ съ крестьянами. Поэтому при освобожденіи крестьянъ онъ попалъ на видное мѣсто и даже сдѣланъ былъ членомъ въ губернское присутствіе отъ правительства. Очень естественно, что дочь, вѣря отцовскимъ словамъ, старалась какъ можно больше ругать старые порядки, стала читать, по-писанному стараясь высказывать новые взгляды, и съ перваго же раза обратила на себя вниманіе губернаторши и двухъ пріѣзжихъ женъ предсѣдателей, такъ-что черезъ мѣсяцъ была у губернаторши на правахъ секретаря: устраивала вечера, спектакли и проч. съ благотворительною цѣлью.

Но у Катерины Алексѣевны было доброе сердце. Она еще въ дѣтствѣ пріучалась любить няньку, которая муштровала ее по-своему, любила играть съ дочерью дворника, и ей жалко было, если дворникъ наказывалъ дѣвочку возжами; она ни на кого не жаловалась и только была капризна и своевольна и дѣлала, что хотѣла. Теперь она хотя по временамъ и бранила горничную, но обходилась съ ней ласково; она бросала въ окна деньги шарманщикамъ, щедро одѣляла нищихъ, хотя съ другой стороны не совѣстилась брать изъ собранной съ спектакля суммы порядочный кушъ на покрытіе издержекъ на томъ основаніи, что такъ поступаетъ сама губернаторша, такъ поступаютъ и другія. Но ей ни разу еще не случилось примѣнить свою теорію на практикѣ. Оказалось, что не всегда можно жить только разговаривая, нужно же и дѣло дѣлать. Крѣпко призадумалась Телѣжникова надъ просьбой Дарьи Андреевны. Ей хотѣлось сперва переговорить съ Анной Николаевной, но она не знала, будетъ ли это хорошо. Съ своей стороны она конечно допускала, что тутъ нѣтъ никакого стыда, если Дарья Андреевна будетъ шить въ магазинѣ, потому-что сама Петерсонъ была замужемъ за чиновникомъ и имѣла сына чиновника, а Дарья Андреевна современемъ можетъ сама открыть швейный магазинъ. Она была женщина нерѣшительная и безъ постороннихъ совѣтовъ ничего не дѣлала. Но въ то же время она была и такая женщина, что если ужъ дала слово, то должна исполнить его. На вечерѣ она сказала губернаторшѣ, что прогрессъ подвигается, и разсказала о намѣреніи Дарьи Андреевны, не сообщивъ впрочемъ ея настоящаго имени. Губернаторша сперва было-высказала, что-де дочери чиновника не годится идти въ модистки, но потомъ изъявила намѣреніе дать бѣдной дѣвушкѣ работу, и когда Телѣжникова отвѣчала, что дѣвушка еще только хочетъ учиться, то губернаторша посовѣтовала пристроить эту дѣвушку къ мѣсту какъ можно скорѣе. Мужъ, къ которому она обратилась за совѣтомъ, предоставилъ это дѣло ей, потому-де, что онъ въ бабьи дѣла не мѣшается. Однако, на другой день ей не привелось быть у Петерсонъ: она встала во второмъ часу, до обѣда у нея болѣла голова, послѣ обѣда ее позвали на репетицію, и она забыла о просьбѣ Дарьи Андреевны, которая ее и не застала дома.

Между тѣмъ у дяди безъ сценъ не обошлось. До обѣда все шло хорошо. Пріѣхалъ женихъ; Дарья Андреевна отказала ему, тотъ обидѣлся и, сухо раскланявшись съ хозяевами, уѣхалъ.

— Ты что сказала жениху?—спросилъ ее дядя, проводивъ гостя.

— Отказала.

— Ты!? ты отказала!.. Да знаешь ли ты, что это послѣдній женихъ?

— Будто ужъ и нельзя жить безъ мужа?

— Знаешь ли ты, что черезъ это твой братъ, пока я живъ, не получитъ должности?

— Это—какъ вамъ угодно; только для брата я не могу жертвовать собой.

— Послѣ всего этого я даю тебѣ три дня сроку: или соглашайся выходить за Македонскаго замужъ, или собирайся домой. Маша останется здѣсь. Она умнѣе тебя: она еще и жениха не видала, а уже согласна за него идти замужъ.

На другой день послѣ этого, утромъ, Дарья Андреевна отправилась къ Телѣжниковой. Телѣжникова сбиралась ѣхать.

— Ахъ, душечка, какъ я виновата передъ вами! Вчера, ей-Богу, было некогда, сегодня опять надо на репетицію... Подождите, ради Бога.

— Я не могу больше ждать.—И она разсказала о срокѣ.

— Это ужасно! Послѣ этого моя нога у нихъ не будетъ! Какъ же бы это устроить-то однако!?.. А! Я напишу записочку къ мадамъ Петерсонъ, и вы занесете.

Она ушла и черезъ нѣсколько минутъ принесла запечатанное облаткой письмо, отъ котораго далеко пахло духами.

— Хотите, я васъ довезу?

— Нѣтъ, благодарю.

— Въ случаѣ, если она откажетъ, вы ко мнѣ заходите, я сама съѣзжу. До свиданья, душечка.

Дарья Андреевна рѣшила больше не ходить къ Телѣжниковой.

XX.

Модный магазинъ Эмиліи Карловны Петерсонъ помѣщался въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ на Переѣзжей улицѣ. Въ этомъ домѣ кромѣ моднаго магазина другихъ не было, и домовладѣлецъ, богатый купецъ, самъ занималъ съ своимъ огромнымъ семействомъ весь домъ. Магазинъ помѣщался въ нижнемъ этажѣ; въ простѣнкахъ между четырехъ оконъ были прибиты двѣ доски съ изображеніемъ двухъ плохо намалеванныхъ барынь съ широкими носами, узкими ртами, похожими на птичьи клювы и съ птичьими глазами безъ зрачковъ, а съ какими-то вымазанными голубой краской точками. На барыняхъ красовались—на одной голубое, на другой красное платья со множествомъ складокъ, но и платья казались какъ-будто разорванными, вслѣдствіе бѣлыхъ

прямолинейныхъ полосъ, происшедшихъ, вѣроятно, отъ дождя; на ногахъ надѣто что-то неопредѣленное—калоши не калоши, сапоги не сапоги, а такъ что-то въ родѣ колодокъ. Вообще фигуры эти имѣли видъ, что имъ какъ-будто стыдно торчать тутъ на посмѣшище людямъ и хочется скорѣе убѣжать куда-нибудь. Надъ картинами прибита вывѣска: «Петербургскій модный магазинъ Петерсонъ». Передъ домомъ у параднаго крыльца стояла карета, запряженная въ двѣ лошади. По тротуару ходилъ толстый кучеръ, курилъ трубку и откликался свысока стоявшему въ дверяхъ крыльца рослому лакею, въ большой шляпѣ съ позументами.

Дарья Андреевна пошла во дворъ. Во дворѣ было чисто, пусто; справа заплотъ, впереди заднія постройки, налѣво домъ, ближе къ заднимъ постройкамъ колодецъ, у котораго дѣвушка лѣтъ десяти, босая, въ оборванномъ платьицѣ, съ усиліемъ вертѣла ручку отъ валька, къ которому была прикрѣплена на веревкѣ лейка; еще съ бо́льшимъ усиліемъ она вытащила наружу лейку и вылила изъ нея воду въ желѣзное ведро, а потомъ закрыла колодецъ дверками.

— А гдѣ тутъ модный магазинъ?—спросила дѣвушку Дарья Андреевна.

Дѣвушка взглянула болѣзненно на Дарью Андреевну и, указывая рукой налѣво, на одно изъ двухъ крылецъ, сказала:

— Вотъ тамъ! А вамъ кого? Мадаму?

— Да, мнѣ хозяйку нужно увидать.

— А хозяйки дома нѣту-те—ушла.

— Скоро придетъ?

— А я почемъ знаю! А вы подите къ дѣвицамъ,—можетъ она и скоро...—И дѣвушка взяла ведро правою рукой, и сильно нагнувшись на правый бокъ, понесла его къ тому крыльцу, на которое показала Дарьѣ Андреевнѣ. Дарья Андреевна пошла за ней.

Въ нижнемъ этажѣ было четыре окна. Около двухъ крайнихъ къ крыльцу сидѣли три дѣвицы лѣтъ по четырнадцати или по пятнадцати. По вздыманіямъ кверху и размахиваніямъ ихъ рукъ замѣтно было, что онѣ шьютъ; но это имъ не препятствовало смотрѣть во дворъ, и по лицамъ ихъ видно было, что онѣ надъ чѣмъ-то, или надъ кѣмъ-то хохотали. Дарья Андреевна замѣтила, что онѣ смотрятъ на нее, и ей сдѣлалось неловко. Она обернула свой бурнусъ, оглядѣла платье, взошла на крыльцо и опять взглянула на крайнее окно. У него стояла женщина 25 лѣтъ съ папироскою во рту и какъ-то сердито заглядывала на крыльцо.

Дѣвушка съ ведромъ пошла прямо, а ей сказала, чтобы шла въ дверь налѣво, къ дѣвицамъ, и снова повторила, что хозяйка, быть-можетъ, сейчасъ же явится.

Дарья Андреевна вошла.

За большимъ столомъ, покрытымъ чернымъ сукномъ, на табуреткахъ сидѣли три дѣвицы: одна черноволосая и двѣ блондинки, — тѣ самыя, которыхъ она видѣла со двора. На нихъ были надѣты старыя, грязныя платьица; двѣ были босы, третья въ худыхъ ботинкахъ; волоса у всѣхъ были заплетены и на головахъ не было даже сѣтокъ. Щеки были впалыя и блѣдныя, а у черноволосой лицо казалось даже нѣсколько желтымъ, такъ что она выглядѣла далеко старше своихъ лѣтъ. Около нихъ стояла высокая женщина 25 лѣтъ, тоже въ ситцевомъ, но чистомъ платьѣ, съ воротничкомъ на шеѣ и съ батистовыми рукавчиками, застегнутыми на янтарныя пуговицы. Лицо ея было продолговатое, худощавое, блѣдное, съ веснушками. Хотя она смотрѣла строго своими карими глазами, но въ лицѣ замѣчалось добродушіе. Комната была большая, съ большою изразцовою печью, которая топилась и въ которой стояло два утюга; недалеко отъ печи шла дверь въ хозяйское помѣщеніе; на стѣнахъ, неоклеенныхъ обоями, что-то начерчено карандашомъ, косо и криво, неправильною женскою рукою, въ родѣ: *мадамъ*, *асеевъ*, *Глашка* и т. д. Въ переднемъ ряду висѣлъ образъ Варвары великомученицы въ позолоченномъ окладѣ и передъ нимъ въ лампадкѣ теплился огонь.

Вошедши Дарья Андреевна поклонилась высокой женщинѣ.

— Что угодно?—спросила ее высокая женщина.

— Мнѣ нужно госпожу Петерсонъ.

— Ея нѣтъ. Вы съ заказомъ или получить что? Такъ я могу за нее все сдѣлать.

— Нѣтъ, я съ письмомъ отъ госпожи Телѣжниковой.

Высокая женщина нахмурилась и отвернулась, потомъ подошла къ черноволосой, наклонилась къ шитью и вдругъ вырвала изъ рукъ ея шитье.

— Господи, Боже мой! Сколько разъ я тебѣ говорила, чтобы ты клинья какъ можно аккуратнѣе запрятывала:.. Ну, что это? что?—кричала высокая женщина.

— Извѣстно, клинъ. Его не спрячешь—все будетъ клинъ.

— Достанется ужо тебѣ отъ Эмиліи Карловны! Распори, сейчасъ распори...

Черноволосая дѣвушка озлобленно взглянула на Дарью Андреевну, точно она была причиною этой непріятной сцены.

— Возьмите, да и распарывайте сами,—сказала она высокой женщинѣ и встала.

— Что!? что такое? Ахъ, ты!.. Ну, хорошо! хорошо! Я покажу мадамѣ.

— Кажите, жалуйтесь: вамъ не привыкать стать.

— Ахъ, ты холопка!

— Не знаю, кто холопка: та изъ насъ, что на карачкахъ ползаетъ передъ хозяйкой, или...

— Молчать!

— А вотъ не замолчу, коли на то пошло.

Дѣвушка съ пепельными волосами дернула ее за платье и взглянула жалобно, но черноволосая сдѣлала движеніе, что она сама знаетъ, что дѣлаетъ.

— Послушай, Катя, до коихъ поръ это будетъ?—начала высокая женщина, понизивъ тонъ.

— А-а! теперь такъ Катя. А послушайте, Софья Васильевна, до коихъ поръ вы меня притѣснять будете? Подайте мнѣ деньги и я уйду, чортъ съ вами... чортъ васъ возьми совсѣмъ... проклятыя...—И она заплакала.

Остальныя дѣвушки стали смотрѣть въ окно, оставивъ работу.

У Дарьи Андреевны защемило сердце.

— Сама виновата! Тебѣ говорятъ: дѣлай такъ, а ты по-своему.

— Не держите мастерицъ; сами шейте.

— Послушай, Катя, какое право ты имѣешь говорить дерзости?

— А потому, что вы сами дерзки. Извольте сами улаживать клинъ! я двадцать разъ не намѣрена перешивать.

— Хорошо же!—И высокая женщина сѣла на ея табуретку и молча стала распарывать. Катя подошла къ ней.

— Ужъ полно вамъ привередничать-то, вѣдь просто отъ нечего дѣлать придрались ко мнѣ!

Софья Васильевна молчала.

Катя рванула шитье, щеки ея покраснѣли и она рѣзко сказала:

— Мнѣ хозяйка дала это шитье, а не вы! Я хозяйкѣ должна отдать отчетъ. Пустите!

Тутъ Софья Васильевна какъ будто очнулась и взглянула на Дарью Андреевну.

— А вы что стоите?

— Я дожидаюсь госпожу Петерсонъ.

— Вамъ сказано, что ея нѣтъ,—и все тутъ... А если у васъ есть письмо, давайте, я передамъ.

— Телѣжникова велѣла мнѣ отдать лично ей самой.

— Вотъ еще новости! Что она, деньги, что ли, прислала?

— Не знаю.

— Она вотъ уже шестой мѣсяцъ, какъ не платитъ за перешивку старыхъ платьевъ. А тоже модничаетъ, по баламъ разъѣзжаетъ. Шлюха! Во весь годъ только одно новое платье заказала!

Въ это время въ комнату швей вошелъ низенькаго роста плѣшивый, толстый нѣмецъ въ халатѣ и туфляхъ; на лбу его торчали очки въ мѣдной оправѣ, а въ правой рукѣ онъ держалъ ножницы.

— Что за шумъ, а драка нѣтъ? — проговорилъ онъ полушутя и полусерьезно, и потомъ, замѣтивъ Дарью Андреевну, подошелъ къ ней, оттопырилъ впередъ животъ, заложилъ руки назадъ и на поклонъ ея важно спросилъ:

— Ви что? ви кто?

— Да вотъ къ Эмиліи Карловнѣ пришла съ какимъ-то письмомъ отъ Телѣжниковой — сказала Софья Васильевна.

— А-а!..—проакалъ онъ октавой.—Покажить письмо?

Дарья Андреевна показала письмо. Нѣмецъ взялъ его и сталъ нюхать покрякивая.

— Карашо, кланяйсь...

— Мнѣ нужно самое Эмилію Карловну видѣть.

— А-а!..—и нѣмецъ началъ хитро смотрѣть на Дарью Андреевну.

Дарья Андреевна хотѣла бросить письмо и уйти вонъ отсюда, но ей хотѣлось дождаться хозяйки.

— А сколько лѣтъ?—спросилъ нѣмецъ, отдавая Дарьѣ Андреевнѣ письмо.

— Это вамъ для чего же нужно?

— Ай, какъ ви строгъ! Прошу!—и нѣмецъ показалъ Дарьѣ Андреевнѣ на диванъ, а самъ пошелъ въ магазинъ. За нимъ ушла и Софья Васильевна.

Въ швейной настала тишина, такъ-что слышно было тиканье часовъ въ магазинѣ и шуршаніе матерій у швей. Въ комнату вошла дѣвочка, та самая, которая доставала воду изъ колодца, и молча начала выдергивать нитки изъ распоротой юбки. Изрѣдка доносилось мурлыканье унисономъ изъ хозяйской комнаты.

Дарьѣ Андреевнѣ сдѣлалось очень скучно. Ей жалко было этихъ дѣвицъ, согнувшихся надъ шитьемъ и изрѣдка посматривавшихъ на нее не то съ любопытствомъ, не то съ гордостью, не то съ завистью; ей жалко было десятилѣтней дѣвочки въ мокромъ, грязномъ, разорванномъ платьишкѣ, выдергивавшей теперь нитки. А дѣвочка была красивая, съ чистымъ, только болѣзненнымъ лицомъ, съ правильнымъ носомъ, съ чисто-дѣтскою улыбкою на хорошихъ губахъ, съ растрепанными черными волосами, такъ-что она невольно назвала ее красавицей, но въ то же время подумала: что изъ нея выйдетъ? и сравнивала ее съ Катей, этой смуглой съ пожелтѣвшими щеками дѣвушкой, умѣющей огрызаться съ старшими и заявлять свои права. Ей подумалось-было, зачѣмъ Катя уступила этой Софьѣ Васильевнѣ, взяла бы да и ушла; но она уже начинала понимать, какъ трудно женщинѣ или дѣвушкѣ найти работу. Отчего онѣ невеселы всѣ? Сидитъ ихъ три и не только что ни одна не запоетъ, но даже не заговорятъ онѣ другъ съ дружкой; даже Софья Васильевна молчитъ; только дѣвочка зѣваетъ на всю комнату, но и это вызываетъ только улыбку, а не хохотъ. Такъ и кажется, что всѣ онѣ о чемъ-то думаютъ, что-то ихъ тяготитъ; вѣдь у каждой за стѣнами этого магазина, можетъ-быть, есть своя жизнь.

Вотъ одна пошла къ печкѣ, достала утюгъ: дѣвочка съ своимъ хламомъ отодвинулась и изругалась, что ей мѣшаютъ. Швея стала утюжить, а Софья Васильевна и вниманія не обращала на этотъ процессъ. Спросила швея у другихъ швей, не надо ли имъ утюга, тѣ сказали, что еще рано; она поставила утюгъ въ раскаленную печь, снова стала шить, и опять настала тишина. Кто-то зацарапался въ дверяхъ снаружи, замяукала жалобно кошка, дѣвочка отворила дверь; вошла тощая, съ желтою съ черными крапинами шерстью кошка и прошла прямо въ хозяйскую комнату. И на это швеи не обратили вниманія. Пришелъ нѣмецъ въ своемъ халатѣ съ сигарою во рту.

— Адольфъ Карловичъ, одолжите папироску,— проговорила Катя охрипшимъ голосомъ.

— Уй! уй! молоденькимъ дѣвушкамъ развѣ можна, —проговорилъ нѣмецъ и покачалъ головой.

— Ну, дайте же.

— Ай!-ай!.. Ну, такъ и быть!—И онъ досталъ изъ кармана брюкъ сигарочницу, гдѣ лежало до пятка папиросъ.

— И мнѣ, Адольфъ Яковлевичъ!—просила Матрена.

— И мнѣ...—приставала русоволосая.

Нѣмецъ шутилъ, но далъ всѣмъ по папироскѣ, потомъ предложилъ и Софьѣ Васильевнѣ, но та обидѣлась.

— Мерси! у меня свои есть,—сказала она.

— Но я прошу...

— Я не хочу послѣ другихъ...

— Охъ! какой ви гордый.—И онъ потрепалъ ее, но она, отстранивъ его руку, указала головой на Дарью Андреевну. Нѣмецъ сердито посмотрѣлъ на гостью и ушелъ.

— Катя, дай-ко раскурить,—сказала Софья Васильевна.

Та улыбнулась, гордо мотнула головой и не встала съ мѣста.

— Сами можете подойти,—сказала она.

Софья Васильевна съ гнѣвомъ встала и подошла къ Матренѣ.

— Да нàте, нàте,—чего вы! Ужъ и злится, какъ кошка... Я пошутила,—проговорила Катя съ улыбкой, но голосомъ виноватаго.

— Я не люблю, чтобы кто-нибудь шутилъ надо мной.

— А сами такъ любите шутить... Ахъ, да вѣдь вамъ двадцать-пятый годъ...

Щеки Софьи Васильевны поблѣднѣли, губы ея передернулись, но она промолчала и сѣла за свою работу.

Къ Катѣ подошла Маша и попросила у нея курнуть.

— Пошла на свое мѣсто! — крикнула на нее Софья Васильевна такъ, что Дарья Андреевна вздрогнула.

Сестра дала Машѣ курнуть.

— Какъ ѣсть хочется!—сказала Матрена.

— Какъ долго нѣтъ Эмиліи Карловны!—проговорила русоволосая.

— Софья Васильевна, я кончила,—сказала Катя.

— Покажи.

Софья Васильевна осмотрѣла шитье со всѣхъ сторонъ и ни къ чему не могла придраться, только велѣла въ двухъ мѣстахъ выутюжить.

Наконецъ явилась и сама Эмилія Карловна. Это была женщина лѣтъ сорока-восьми, высокая, тучная, съ красными щеками, отцвѣтшими голубыми глазами и бородавкой на правой сторонѣ нижней губы; на этой бородавкѣ росъ постоянно одинъ рыжій волосъ, который въ настоящее время былъ подрѣзанъ. На ней, кромѣ драповаго пальто, было надѣто шелковое платье, и на груди красовалась золотая цѣпочка, а на головѣ была надѣта наколка. Она принесла съ собой большой свертокъ.

Дарья Андреевна подала ей письмо. Она прочитала, положила письмо въ карманъ и стала осматривать работы у швей.

— Ну, хорошо. Иди домой. Завтра приходи пораньше,—сказала она Катѣ.

— Не дадите ли денегъ, Эмилія Карловна?

— А ты у меня сколько забрала? А!

— Я заработаю.

— Нѣту денегъ.

Катя ушла.

— Ты тоже можешь идти, только приходи поскорѣе,—сказала хозяйка Матренѣ.

— Дайте, пожалуйста, на хлѣбъ. Мнѣ за штуку слѣдуетъ сорокъ копеекъ.

— Ну, это еще мое дѣло... У меня нѣтъ мелкихъ.

Ушла и Матрена. Хозяйка подошла къ русоволосой.

— Э, матушка, какъ ты дрянно шьешь! Что же вы, Софья Васильевна, смотрите? Ну, ты можешь и вовсе не приходить... Нѣтъ, нѣтъ... и не проси.

— Эмилія Карловна!..—вопила дѣвушка.

— Нѣтъ, нѣтъ. Ты мнѣ испортила юбку! Да что же это съ вами, Софья Васильевна? Это нехорошо.

— Я-то тутъ чѣмъ виновата? Я вѣдь вамъ говорила, что она еще плохо шьетъ, а вы ей даете юбку. Сами виноваты.

— Ахъ, Боже мой! Что̀ я теперь стану дѣлать? Вонъ, негодная дѣвчонка! Я еще съ тебя черезъ полицію за матерію взыщу. Вонъ!

Дѣвушка ушла рыдая. Долго она стояла на крыльцѣ, но потомъ ушла и со двора.

Эмилія Карловна долго еще ругалась и перекорялась съ Софьею Васильевною, которая оказалась главною мастерицею-закройщицею у нея. Софья Васильевна ей не уступала и требовала разсчета въ двѣнадцать рублей. Эмилія Карловна успокоилась и попросила ее остаться у нихъ обѣдать. Потомъ обратилась къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Вы желаете поступить ко мнѣ въ швеи?

— Да.

— Умѣете ли вы?

— Не угодно ли испытать?

— Потрудитесь перешить вотъ эту полосу.—И Эмилія Карловна дала ей ту юбку, что шила только что прогнанная русоволосая дѣвушка, и указала, какъ и что нужно сдѣлать, а сама съ Софьей Васильевной ушла въ комнату, откуда черезъ нѣсколько минутъ послышался стукъ ножей и вилокъ, и запахло мясомъ и супомъ.

Обѣдъ продолжался съ часъ. Послѣ обѣда хозяйка вышла.

Дарья Андреевна давно уже кончила работу и отъ нечего дѣлать смотрѣла въ окно, облокотившись правою рукою на столъ, но тамъ ничего не было новаго или интереснаго. Взлетитъ на верхушку колодца воробышекъ, попрыгаетъ, повертится, посмотритъ по сторонамъ и улетитъ; пройдетъ толстый котъ, растягиваясь отъ сытной пищи во всю длину, и уйдетъ, не обращая вниманія на котенка, который старается зацѣпить его лапкой или, сломя голову, кидается за перышкомъ, погоняемымъ вѣтромъ, или точитъ ногти объ заплотъ; пройдетъ къ углу за колодцемъ какая-то пожилая некрасивая женщина съ лоханью, выльетъ помои, сморкнется въ фартукъ и уйдетъ. Ничего нѣтъ хорошаго. А на улицѣ вѣтеръ, падаютъ изрѣдка снѣжинки. Скучно.

— Вы уже кончили?—спросила Эмилія Карловна.

Дарья Андреевна вздрогнула и показала юбку.

— Какъ вы находите?—спросила хозяйка свою мастерицу, показывая ей шитье Дарьи Андреевны.

— Ничего, немножко грубовато,—отвѣтила та.

— Ну, это пустяки. Вы гдѣ учились шить?

— Въ монастырѣ. Я и золотомъ умѣю шить.

— Ну, тамъ работа иная: у насъ шьются модныя платья. Отдѣлка требуется хорошая. Однако, что вамъ за охота шить?

— Я хочу сама зарабатывать кусокъ хлѣба.

— Но у васъ вліятельный дядя!

— Я не хочу ѣсть чужой хлѣбъ.

— Ну, какъ знаете. Я васъ принимаю, потому что мнѣ васъ хвалила Телѣжникова. Я у нея была сегодня—должокъ за ней былъ. Вы будете получать со штуки. За платье, напримѣръ, я вамъ буду платить полтора рубля, за лифъ—полтинникъ. Согласны?

— Я согласна.

— Жить вы будете на своей квартирѣ, кушать тоже на свои деньги. У меня всѣ мастерицы такъ живутъ. Только вотъ около праздниковъ, когда бываетъ много заказовъ, тогда мастерицы пользуются безвозмездно моимъ столомъ, чаемъ, кофеемъ и спятъ у меня. Такъ приходите пораньше завтра. Не надо ли вамъ денегъ?

— Нѣтъ.

— Вы не стѣсняйтесь. Я вамъ могу дать рубль. Вѣдь у васъ еще нѣтъ квартиры—мнѣ Телѣжникова по крайней мѣрѣ такъ говорила.

— Пожалуй, дайте рубль.

— Напишите росписочку.

Написавши росписку въ полученіи рубля въ счетъ будущихъ заработковъ и получивши этотъ рубль, Дарья Андреевна вышла отъ Петерсонъ въ восторгѣ и пошла искать квартиру. Часа два она искала и, наконецъ, версты за три отъ магазина нашла комнатку въ мезонинѣ деревяннаго стараго дома, съ готовою мебелью за три рубля въ мѣсяцъ. Полтинникъ она отдала въ задатокъ.

У дяди безъ сценъ не обошлось. Онъ и его жена бѣсились страшно. Какъ, говорили они, возможно, чтобы дочь благородныхъ родителей осмѣлилась поступить въ швеи! Да это развратная женщина! Упрекала ее и Марья Андреевна, которая со слезами просила ее остаться у дяди. Наконецъ, Ипполитъ Аполлоновичъ сталъ грозить ей, что онъ вытѣснитъ изъ палаты Кузьму, но ничто не поколебало Дарью Андреевну, несмотря даже на то, что ей не дали обѣдать и не пригласили къ чаю. Бодро она собрала свои вещи, бодро выслушала при прощаніи упреки, и какъ хорошо чувствовалось ей, когда она, наконецъ, вышла изъ этого дома, покинула этотъ праздный міръ.

«Помоги мнѣ, Господи, никогда не возвращаться въ эту жизнь и укрѣпи меня на новую жизнь», молилась она, идя спать на новую квартиру, и на душѣ у ней было такъ хорошо, такъ хорошо,—какъ никогда.

XXI.

Модный магазинъ Петерсонъ, когда въ него поступила Дарья Андреевна, управлялся самою Эмиліею Карловною Петерсонъ съ помощницею, мастерицею-закройщицею Софьею Васильевною Казанцевою. Швеи въ немъ были, кромѣ Дарьи Андреевны, дѣвицы: Матрена Знобишина и Катя Василькова съ сестрою Машею. Не мѣшаетъ сказать нѣсколько словъ о содержательницѣ этого магазина.

Біографія Эмиліи Карловны не велика. Отецъ ея былъ природный нѣмецъ и служилъ въ качествѣ мастера на одномъ изъ заводовъ въ Петербургѣ. Онъ умеръ или вѣрнѣе былъ задавленъ въ самомъ заводѣ во время работъ, когда Эмиліи было всего пять лѣтъ. Мать была тоже нѣмка, и послѣ смерти мужа открыла въ Петербургѣ пивную, которою и существовала четыре года. Такимъ образомъ Эмилія Карловна съ самаго дѣтства жила въ кругу народа, преимущественно простого и нѣмецкаго, и усвоила нѣкоторыя понятія изъ этой жизни. Мать ея была женщина разбитная, какъ говорится, никому спуску не давала и нисколько не походила на своихъ степенныхъ землячекъ, ходящихъ плавно и дѣлающихъ все съ разсчетомъ. Она была женщина молодая, а въ пивную хотя и ходилъ народъ ежедневно, но жизни все-таки для нея было мало: народу много, а хорошаго человѣка нѣтъ ни одного. Наконецъ, она выбрала себѣ мужчину—русскаго; но этотъ русскій оказался только до интимныхъ отношеній хорошъ, и какъ только сдѣлался ея любовникомъ, обобралъ ее и бросилъ, а она со своей пивной впала въ долги и должна была продать все за безцѣнокъ и позаботиться объ участи дочери. И вотъ она отдала ее въ обученіе къ одной модисткѣ изъ-за хлѣба и крова, а а сама пустилась во всѣ тяжкія...

Многому натерпѣлась дѣвушка у модистки, но все-таки кое-чему выучилась и на шестнадцатомъ году уже поступила въ швейный магазинъ, гдѣ скоро поняла всякіе моды и фасоны, и девятнадцати лѣтъ получала уже жалованья двадцать рублей въ мѣсяцъ, такъ что имѣла приличную комнату. Тутъ она вышла замужъ за чиновника, который черезъ пять лѣтъ получилъ должность въ Егорьевскѣ, гдѣ и померъ черезъ восемь лѣтъ. Во все это время Эмилія Карловна шитьемъ не занималась, а жила барыней, добрѣла и толстѣла; хотя у нея и были дѣти, но остался только одинъ,—Николай Павловичъ Славинъ, въ настоящее время уже служащій въ уголовной палатѣ помощникомъ столоначальника. По кончинѣ мужа за службу котораго она получила только единовременное пособіе, Эмилія Карловна рѣшилась открыть модный магазинъ, которыхъ въ то время въ городѣ было только два, да и тѣ не удовлетворяли требованіямъ многочисленной аристократіи, живущей далеко отъ Петербурга и Москвы. Но это ей обошлось не дешево и не легко. Однако, какъ бы то ни было, а все-таки она модный магазинъ завела и открыла его именно въ этомъ домѣ, повѣсивъ описанную выше вывѣску, изображающую двухъ барынь, куда-то стремящихся. Нанявши квартиру и повѣсивши вывѣску, Эмилія Карловна собрала всѣ накопившіяся у нея картинки модъ (а ихъ у нея было пропасть, потому что она питала къ нимъ особенную страсть и кромѣ нихъ никакихъ другихъ картинъ не уважала), выбрала изъ нихъ тѣ, которыя были поновѣе, и поставила ихъ къ окнамъ, выходящимъ на улицу. Сообразивъ, что для моднаго магазина нужно имѣть какіе-нибудь образцы или платья, она выбрала три своихъ лучшихъ платья и повѣсила ихъ въ комнатѣ, выходящей на улицу и называемой магазиномъ. Кромѣ этихъ платьевъ, зеркала, ломбернаго стола, нѣсколькихъ стульевъ и дивана, въ магазинѣ ея тогда ничего не было. Улица эта въ то время была незна-

чительная и поэтому немудрено, что недѣли двѣ народъ дивился, смотря на двухъ барынь и на модныя картинки, стоящія у стеколъ. Прошелъ мѣсяцъ, а заказовъ нѣтъ; но вотъ хозяйкѣ дома понадобился салопъ; Эмилія Карловна салопъ сшила; но хозяйка-купчиха забраковала его, потому что ей нужно было сшить по-просту, по старинкѣ, а она сшила по новомодному. Пришлось перешить по старинкѣ. Мѣсяцевъ шесть Эмилія Карловна не имѣла работы изъ города, а обшивала хозяевъ, ихъ приказчиковъ, служителей и даже кухарку, и за все это получала очень немного денегъ. Но она крѣпилась. На девятый мѣсяцъ хозяева выдавали дочь за богатаго и образованнаго купца. Въ это же время къ Эмиліи Карловнѣ пришла дѣвушка Софья Васильевна, занимавшаяся шитьемъ у одной изъ содержательницъ моднаго магазина, и предложила ей свои услуги. Хозяева надавали пропасть работы, работа была спѣшная, такъ что Софья Васильевна должна была переманить отъ другой содержательницы моднаго магазина двухъ дѣвицъ, умѣвшихъ шить порядочно, и работа была кончена къ сроку. Въ городѣ вслѣдствіе этого про Эмилію Карловну пошла слава. Мало-по-малу магазинъ упрочился окончательно, и владѣлица его вышла замужъ за Адольфа Яковлевича Петерсона, того самаго нѣмца, съ которымъ читатель познакомился въ предыдущей главѣ.

Шить въ людяхъ и на людей не то, что шить дома себѣ платье. Себѣ хоть и некрасиво сошьешь—такъ для себя, никто тебя не укоритъ, зато шить въ модномъ магазинѣ, изъ-за хлѣба—другое дѣло. Хотя Дарья Андреевна и вышивала въ монастырѣ золотомъ, вязала скатерти, но, очутившись въ модномъ магазинѣ, она не безъ боязни приступила къ моднымъ платьямъ, скроить которыя она не умѣла. Сама Эмилія Карловна рѣдко снимала мѣрки; этою частью завѣдывала Софья Васильевна, которая этотъ секретъ ни за что никому изъ швей не хотѣла открыть. Шить приходилось все большею частію шелковое, дорогое. Сначала Дарьѣ Андреевнѣ давали рукава, и надо было видѣть, съ какимъ стараніемъ она шила, какъ берегла матерію, чтобы не испачкать ее, какъ боялась, чтобы ей не пришлось перешивать, что очень часто случалось съ Катей и Матрешей. Но Богъ милостивъ. Дарья Андреевна испортила всего только одинъ лифъ, и хозяйка поставила его въ пять рублей, почему она и стала получать вмѣсто пятидесяти коп. за штуку—четвертакъ. И то ладно. А вонъ Катя и Маша, тѣ рѣдко получаютъ и по пятнадцати коп., и домой часто уходятъ съ пустыми руками. Ужъ сколько плакала Дарья Андреевна надъ своею оплошностью,—плакала, какъ маленькая дѣвочка Маша, послѣ того, какъ хозяйка оттаскаетъ ее за волосы за плохое умѣнье шить на живую нитку,—а бѣду поправить было трудно. Пословица говоритъ: взялся за гужъ—будь дюжъ. Стала она осторожнѣе, и въ затруднительныхъ вещахъ постоянно совѣтовалась то съ Софьей Васильевной, то съ подругами, но отъ нихъ толку было мало. Затруднится ли она въ чемъ и спрашиваетъ Катю:

— Катя, это кажется такъ слѣдуетъ?

— Не знаю, Даша.

— Да вѣдь вы давно здѣсь.

— Терпѣть не могу, кто говоритъ мнѣ: вы! Спроси у Кикиморы.

Обратится Дарья Андреевна къ Софьѣ Васильевнѣ.

— Вамъ сказано, какъ шить. Спросите хозяйку—вы ея любимица.

А хозяйка дѣйствительно обращалась съ нею лучше, чѣмъ съ другими дѣвицами. Хозяйка была женщина самостоятельная, практическая и въ швейномъ дѣлѣ понимала гораздо больше не только Софьи Васильевны, но даже и другихъ содержательницъ модныхъ магазиновъ. Она сразу поняла, что Дарья Андреевна хорошая швея и только ей надо выправку, такъ что черезъ мѣсяцъ Дарьѣ Андреевнѣ уже давались на срокъ платья, пальто и мантильи, причемъ сама хозяйка наблюдала за шитьемъ. Уже съ самаго поступленія въ магазинъ Дарья Андреевна замѣтила, что Софья Васильевна будто недовольна ею: напримѣръ, подойдетъ къ ней, возьметъ ея работу, осмотритъ и непремѣнно что-нибудь откроетъ.

— Прекрасно, я прежде всегда такъ дѣлала!—И захохочетъ язвительно.

— Это дѣлаетъ вамъ честь,—скажетъ Дарья Андреевна взволнованнымъ голосомъ.

— Я говорю, что вы безъ наставленія ничего не умѣете дѣлать. Посмотрите, дѣвицы, какъ у насъ нынче петли мечутъ!—И захохочетъ.

Катя тоже захохочетъ, Матреша только улыбнется.

— Я еще только начала,—скажетъ съ раскраснѣвшимися щеками Дарья Андреевна.

— Да вы такъ и кончите. Вы всегда такъ кончаете.

— Однако Эмилія Карловна ничего не говоритъ.

— Ну, разумѣется, гдѣ же ей усмотрѣть всякую малость!

— Я не знаю, какое вамъ дѣло до моей работы. Вѣдь дали не вы, а Эмилія Карловна; я работу не вамъ отдамъ, а ей. Я, кажется, не обязывалась отдавать вамъ отчетъ—вспылитъ Дарья Андреевна.

— Ну, да, конечно... коне-чно! — проговоритъ сквозь зубы Софья Васильевна, сядетъ на свое мѣсто и ужъ больше ни слова не говоритъ съ Дарьей Андреевной цѣлый день, и когда Дарья Андреевна станетъ прощаться съ ней, она нехотя подастъ руку и процѣдитъ сквозь зубы: прощайте-съ!..

Когда же хозяйка стала давать Дарьѣ Андреевнѣ шить цѣлыя вещи, за которыя она получала со штуки не менѣе 75 коп., и при усидчивой работѣ могла кончить въ двое или полторы сутокъ безъ указанія Софьи Васильевны, послѣдняя открыто возненавидѣла ее. Нужно ли снять съ какой-нибудь барыни мѣрку, хозяйка обращается къ ней.

— Софья Васильевна, потрудитесь снять мѣрку.

— Некогда, Эмилія Карловна; пусть Даша сниметъ.

— Она не умѣетъ.

— А вы покажите.

Лицо Софьи Васильевны пожелтѣло, на лбу появились морщины, глаза сдѣлались злые и задумчивые; въ словахъ замѣчалась горечь; она не досказывала, точно ее душило какое-то горе. Съ Дарьей Андреевной не говорила, не кланялась, и когда ея не было, старалась всячески сплести на нее что-нибудь. А пе-

ресудамъ и клеветамъ внѣ магазина и конца не было. Все это происходило отъ того, что Дарья Андреевна съ перваго же раза оказалась хорошею швеей, дѣвушкой взрослой, толковой, командовать надъ которой какъ-то неловко, да и не къ чему придраться. Софья Васильевна боялась, чтобы хозяйка не заставила ее учить Дарью Андреевну снимать мѣрки и кроить и потомъ не отказала бы отъ мѣста, столько лѣтъ насиженнаго ею. Но кромѣ того, была еще и другая причина—самая главная. Она любила Николая Павловича Славина, любила давно, хотя тотъ уже полтора года какъ охладѣлъ къ ней. Съ появленіемъ же Дарьи Андреевны Николай Павловичъ сталъ ухаживать за послѣдней, и уже не скрывалъ передъ Софьей Васильевной своей холодности.

Катя тоже косилась на Дарью Андреевну. Катя третій годъ работала въ магазинѣ. Начала она съ того, что шила на живую нитку, какъ и сестра ея Маша. Сколько она перетерпѣла горя за это время! Ее и били, и гнали нѣсколько разъ изъ магазина, и денегъ не платили, но она была дѣвушка настойчивая. Въ теченіе трехъ лѣтъ она хорошо научилась шить, но при всей своей настойчивости она никакъ не могла добиться, чтобы ей дали шить что-нибудь цѣльное. Поэтому ей сильно не понравилось, что Дарья Андреевна опередила ее и зарабатываетъ денегъ больше ея. Правда, Дарья Андреевна старше ея на три года, но зато вѣдь она работаетъ въ магазинѣ гораздо менѣе времени. При своемъ самолюбіи она не брала въ разсчетъ того, что Дарья Андреевна еще до поступленія въ магазинъ умѣла шить; ей только было обидно, что ей не даютъ цѣльной вещи. Кромѣ этого Катѣ казалось, что Дарья Андреевна держитъ себя какъ-будто свысока, что она какъ-будто выслуживается передъ хозяйкой; ее бѣсило, что хозяйка благоволитъ къ ней; ее злило, что на Дарьѣ Андреевнѣ платье всегда чистое, что одну недѣлю она ходитъ въ ситцевомъ сѣренькомъ платьѣ, а другую—носитъ шелковую юбку, что на ней всегда чистые сапожки, на которые она еще надѣваетъ калоши, что волоса у ней всегда причесаны какъ-то по-модному, и волоса большіе, натуральные, и подъ сѣткой нѣтъ фальшивыхъ волосъ, какъ у хозяйки или Софьи Васильевны. По всему этому она считала Дарью Андреевну за барышню, которой приличнѣе сидѣть въ гостиной и отъ нечего дѣлать что-нибудь вышивать, а не шить здѣсь, отбивая у нея, бѣдной дѣвушки, кусокъ хлѣба. Разъ какъ-то она даже высказала это Дарьѣ Андреевнѣ. Катя сидѣла безъ дѣла. Попросила она у Матреши папироски. У той не оказалось; Дарья Андреевна предложила ей свою.

— Мерси. Я барскихъ папиросъ терпѣть не могу.

— Развѣ мои барскія? Табакъ Миллера, въ десять коп. четверка.

— Ну, я такой дряни не курю.

— Да вы попробуйте.

— Какъ у васъ, у господъ, принято все *выкать!* Ужъ лучше бы сидѣли съ господами, а не съ нами, мужичками. Право тошно смотрѣть, какъ люди залѣзаютъ не въ свое мѣсто.

— Да вѣдь вы тоже дочь чиновника.

— Что за бѣда! У меня нѣтъ богатой родни. Съ богатой родней и въ аду хорошо. Я, можетъ-быть, получше кого шью, да мнѣ предпочитаютъ другихъ.

— Вольно же вамъ не просить.

— Я настолько горда, что никогда и никому въ свѣтѣ не намѣрена кланяться, какъ это дѣлаютъ другія.

Тѣмъ разговоръ и кончился, потому-что Дарья Андреевна, зная вспыльчивый характеръ Кати, не стала возражать.

Но еще болѣе невзлюбила Катя Дарью Андреевну съ тѣхъ поръ, когда въ магазинъ пришла Телѣжникова въ сопровожденіи своей горничной. Дарья Андреевна сидѣла у окна ближе къ дверямъ. Телѣжникова подошла прямо къ ней, раздушенная и расфранченная, поздоровалась, проболтала что-то для шику по-французски, потомъ по-русски, спросила, какъ она поживаетъ и, какъ будто не замѣтивъ Софьи Васильевны, прямо пошла навстрѣчу хозяйкѣ. Выходя изъ магазина, она опять подошла къ Дарьѣ Андреевнѣ и сказала:

— Я пришлю съ человѣкомъ матерію пу-де-суа на платье. Такъ ужъ вы, душечка, ради Бога, сами шейте. Я уже просила добрѣйшую Эмилію Карловну... Что же вы, душечка, никогда не забѣжите ко мнѣ?..

Дарьѣ Андреевнѣ было неловко отъ всѣхъ этихъ нѣжностей, она уже и такъ уходила въ сѣни и въ кухню, когда Телѣжникова разговаривала съ хозяйкой, чтобы не встрѣчаться съ словоохотливой барыней, но какъ на зло Телѣжникова долго не выходила, и поэтому она не могла избѣжать вышеописанной сцены прощанья. Но Софья Васильевна, и особенно Катя, взглянули на это иначе. Катя возненавидѣла Дарью Андреевну такъ, что какъ только вышла Телѣжникова, она пересѣла съ своею работою къ тому столу, у котораго сидѣла Софья Васильевна.

— Ты зачѣмъ сюда?—спросила ее Софья Васильевна.

— Не люблю я сидѣть съ модницами; онѣ изъ себя корчатъ знатныхъ барынь. Ишь какая пришла раздушенная и прямо къ ней обратилась:—своего поля ягода. И платье ей заказала шить.

— Полно вамъ, Катя, завидовать-то. Возьмите ея матерію и шейте платье. Я попрошу хозяйку,—сказала Дарья Андреевна.

— Не съ вами говорятъ. А если вы любите подслушивать, то лучше уходите отсюда.

— Не могу же я сидѣть съ заткнутыми ушами. Вѣдь вы говорите громко, даже громче меня. Я вамъ отдаю шить платье Телѣжниковой, если только хозяйка въ самомъ дѣлѣ вздумаетъ отдать его мнѣ.

— Я еще и не возьму, потому-что отъ хозяйки я за него ничего не получу.

— Хозяйка должна заплатить.

— Да; она заплатитъ мнѣ или вамъ тогда, когда Телѣжникова отдастъ деньги. А она деньги-то не очень любитъ платить.

— Катя сердится на васъ за то, что вы согласились шить Телѣжниковой платье даромъ,—шепнула Матреша Дарьѣ Андреевнѣ.

— Какъ даромъ?—спросила Дарья Андреевна.

— А такъ: вы ея знакомая, говорятъ, что еще и родственница, вотъ она и не заплатитъ вамъ.

— Не можетъ быть.

— Я васъ увѣряю. Она до вашего поступленія сюда полгода была должна Эмиліи Карловнѣ.

— Толкуйте, двѣ подруги! Одна другой стóите,— проговорила Катя насмѣшливо послѣ словъ Матреши.

Все это непріятно дѣйствовало на Дарью Андреевну. За собой вины она никакой не знала, со всѣми была вѣжлива, ласкова, старалась всѣмъ угодить; при всей своей бѣдности она готова была удѣлить изъ своего заработка часть Катѣ и Матрешѣ; держала она себя, какъ равная имъ, и вдругъ оказывается, что Катя видитъ въ ней какого-то врага, и только одна Матреша не косится на нее. Сперва Дарья Андреевна не обращала вниманія на отношенія къ ней Кати и Софьи Васильевны, но когда онѣ съ каждымъ днемъ стали больше и больше дуться на нее, и, наконецъ, составивъ союзъ, стали изъявлять свою вражду открыто, она крѣпко призадумалась. «Я мѣшаю имъ», рѣшила она, и хотѣла искать мѣста въ другомъ магазинѣ. Но обдумавъ хорошенько она пришла къ тому заключенію, что гдѣ ни работать на первыхъ порахъ будетъ то же, и рѣшила помириться во что бы то ни стало. А предлоговъ къ этому было много, и нужна была настойчивость.

Софья Васильевна жила съ однимъ чиновникомъ, который, надо правду сказать, жилъ на ея счетъ. Онъ уже былъ не молодъ, служилъ по найму и получалъ въ мѣсяцъ восемь рублей. Дарья Андреевна удивлялась, слушая разсказъ Матреши, которая жила отъ квартиры Казанцевой черезъ домъ, какимъ образомъ такая женщина, какъ Софья Васильевна, могла любить человѣка, который, вдобавокъ къ неказистости, попиваетъ и пьяный буянитъ; но та же Матреша объясняла это тѣмъ, что у Казанцевой лѣтъ шесть тому назадъ былъ женихъ приказчикъ изъ гостинаго двора, и какъ только у нея родился ребенокъ, онъ ее бросилъ и потомъ, женившись на дочери купца, самъ записался въ купцы. Тогда разсердившись на обманщика, Софья Васильевна сошлась съ чиновникомъ, и съ нимъ явилась въ лавку купца, и тамъ сдѣлала ему сцену, послѣ чего молодая жена съ мѣсяцъ жила у своихъ родителей. «Конечно—говорила Матреша— Софья Васильевна могла бы подыскать и молодого мужчину, но она разувѣрилась въ нихъ, а неказистаго чиновника держитъ въ рукахъ, и когда онъ сильно забуянитъ пьяный, она его связываетъ или выгоняетъ вонъ на улицу. Но въ то же время Софья Васильевна не могла устоять и противъ Николая Павловича Славина». Вотъ черезъ него-то и рѣшилась Дарья Андреевна сойтись съ Софьей Васильевной.

Катя отца своего не помнила, мать ея померла, когда ей было десять лѣтъ. Помнила она, что мать у нея была хотя и красивая женщина, но много пила и у нея много бывало мужчинъ. Послѣ ея смерти ей въ наслѣдство досталось очень немного, да и то обобрала тетка по матери—мѣщанка, у которой она и жила теперь. Это—женщина жадная, скупая; лишь только появятся у Кати деньги, она тотчасъ отберетъ ихъ; если же Катя долго не приноситъ денегъ, она сама идетъ къ Эмиліи Карловнѣ, которая уже при Дарьѣ Андреевнѣ два раза выгоняла ее изъ магазина. Маша же жила у Эмиліи Карловны и, кромѣ обученія шитью, справляла мелкія домашнія работы. А такъ какъ Катя ходила домой по тѣмъ же улицамъ, по которымъ ходила Дарья Андреевна, то Дарья Андреевна задумала когда-нибудь зазвать къ себѣ Катю.

Изо всѣхъ дѣвицъ, какъ я сказалъ выше, къ Дарьѣ Андреевнѣ была расположена только Матреша. Это была дѣвушка смирная, робкая. Она возражала въ крайнихъ случаяхъ, а если ее обижали, то плакала. Рѣзвость, свойственная ея лѣтамъ, веселость находили на нее лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Мать у ней была мѣщанка,—женщина, въ настоящее время разбитая параличемъ. Хотя у матери и есть свой худенькій деревянный домишко и въ него пускаютъ квартирантовъ за три рубля въ мѣсяцъ, но семейство ихъ живетъ очень бѣдно, потому-что кромѣ матери, бабушка-старуха девятый годъ, какъ ничего не видитъ; у старшей сестры уже пятый годъ, какъ отнялись ноги, и она дома съ трудомъ ходитъ на костыляхъ; братъ, моложе ея года на два, живетъ въ обученіи у портного и уже попиваетъ водку, а домой, кромѣ ни на что ненужныхъ лоскутьевъ, ничего не приноситъ, такъ-что семья кормится почти единственно заработками Матреши, у которой по этому случаю было всего на все одно платье, а худенькій шерстяной платокъ замѣнялъ и шляпку и пальто. Цѣлое лѣто она никакъ не могла скопить денегъ на ботинки, и вотъ, когда пошелъ снѣгъ, она пришла однажды въ большихъ мужскихъ сапогахъ, съ высокими каблуками, и какъ пришла въ швейную, такъ и сняла ихъ.

— Жилецъ нашъ нездоровъ сегодня и въ консисторію не пошелъ. Вотъ я и выпросила у него сапоги. Ужасъ какъ неловко ходить, а всеже теплѣе.

Катя съ Софьей Васильевной долго смѣялись надъ нею; хозяйка въ этотъ день денегъ Матрешѣ не дала, а Дарья Андреевна, зазвавъ Матрешу къ себѣ, подарила ей свои старые сапожки. Съ этихъ поръ Матреша такъ полюбила Дарью Андреевну, что рѣдкое воскресенье не забѣгала къ ней поговорить, хотя забѣгать и приходилось далеко не по пути, и стала звать Дарью Андреевну на квартиру въ материнскій домъ. Катя и Софья Васильевна всячески старались переманить ее на свою сторону: и папиросокъ давали, и булками кормили, и наговорили ей всякую всячину въ отсутствіе Дарьи Андреевны,—Матреша была непоколебима. Она высказывалась такъ Дарьѣ Андреевнѣ: «Меня дома не любятъ, хотя я и ношу деньги; хозяйка Эмилія Карловна тоже не любитъ, говоритъ, что я шью скверно, и все-таки даетъ работы больше, чѣмъ Катѣ, а денегъ платитъ мало, потому-что знаетъ, что я бѣдная и смирная: меня запугать ничего не стоитъ. Идти въ другой магазинъ - не примутъ безъ рекомендаціи. Софья Васильевна и Катя издѣваются надо мной, и если я буду съ ними заодно, то онѣ же будутъ налегать на меня. Вы знаете, что я скоро шью и скоро кончаю свою работу, вотъ онѣ и заставляютъ меня помогать. Нѣтъ, ужъ Богъ съ ними! Я отъ нихъ много перенесла всякой-всячины, и если бы не вы, ей-Богу, стала бы искать другого мѣста. Я бы полы пошла мыть».

Настали Катины именины. Катя пригласила къ себѣ Софью Васильевну и Матрешу. Въ Екатерининъ день Дарья Андреевна была одна въ магазинѣ. Подходитъ къ ней Эмилія Карловна.

— А вы что же не на именинахъ?—спросила она.

— Меня не звали.

— Я замѣчаю, Дарья Андреевна, что онѣ на васъ сердятся. Третьяго-дня Софья Васильевна говорила мнѣ про васъ ужасъ что такое. Правда ли, что у васъ ребенокъ былъ? Вы извините... Я, какъ хозяйка, должна наблюдать за нравственностью...

— Вамъ объ этомъ лучше спросить письменно мою мачеху. Она хотя меня и не любитъ, но я увѣрена, что такой клеветы на меня никогда не взведетъ.

— Вы извините, что я спрашиваю. Я вамъ совѣтую держаться больше около меня.

— Но непріятно, когда сидишь въ одной комнатѣ съ такими же людьми, какъ и я, и постоянно слышишь отъ нихъ что-нибудь.

— А вы не обращайте на нихъ вниманія. Пойдемте пить кофе.

За кофе хозяйка стала выпытывать Дарью Андреевну о нравственности дѣвицъ, но Дарья Андреевна на всѣ вопросы отвѣчала, что она ничего не знаетъ, такъ-что хозяйка назвала ее скрытной.

— А жвачка? Вѣдь она ваша любимица.

— Про нее я знаю, что она живетъ въ бѣдномъ семействѣ и что ея почти никто не любитъ.

— По правдѣ сказать, и я ея не люблю, и держу потому, что она скоро шьетъ.

Дарья Андреевна не рѣшилась просить за Матрену потому, во-первыхъ, что она не мастерица-закройщица, а во-вторыхъ, хозяйка призвала ее какъ-будто затѣмъ, чтобы выспросить о поведеніи швей, о томъ, не крадутъ ли онѣ лоскутки и не шьютъ ли дома на сторону, на что конечно Дарья Андреевна отвѣчала отрицательно.

Но подъ вечеръ этого дня Матреша пришла въ швейную пьяная. Сперва она ругала хозяйку и Дарью Андреевну самыми неприличными словами, потомъ стала плакать, кланяться въ ноги то хозяйкѣ, то Дарьѣ Андреевнѣ. Хозяйка вышла изъ терпѣнія и хотѣла отправить ее въ часть, но Дарья Андреевна заступилась, и ее уложили спать на диванъ. Утромъ хозяйка прогнала Матрешу. Когда же Дарья Андреевна стала упрашивать ее простить Матрешу, она вспылила:

— Вы-то что мѣшаетесь не въ свое дѣло? Коли она люба вамъ,—возьмите ее къ себѣ на квартиру и обнимайтесь съ ней, а мнѣ пьяницъ не надо.

— Но вѣдь ее, вѣроятно, нарочно напоили.

— Не ваше дѣло. Я терпѣть не могу, когда кто мѣшается въ мои распоряженія. И если вы хотите служить у меня, то прошу ни за кого не заступаться. Идите на свое мѣсто.

На мѣсто Матреши была принята опять русоволосая Глаша, которая съ перваго же дня стала сидѣть съ Катей и Софьей Васильевной. А такъ какъ Дарья Андреевна сидѣла одна за большимъ столомъ у окна, а за небольшимъ, стоящимъ у стѣны, гдѣ было не совсѣмъ свѣтло, сидѣло четверо, то хозяйка приказала этимъ четверымъ сидѣть у окна, а Дарьѣ Андреевнѣ у стѣны, но тутъ ей стали мѣшать кроеньемъ и утюженьемъ.

Несмотря на то, что у Дарьи Андреевны была постоянно работа и она шила цѣльныя вещи, денегъ она зарабатывала немного, такъ что едва хватало на квартиру и пищу. Причинъ тутъ было двѣ: во-первыхъ, хозяйка платила неисправно, во-вторыхъ, одну и ту же вещь часто приходилось перешивать. Надо замѣтить, что заказчицъ у Эмиліи Карловны было мало, а дѣла много. Или заказчицы были слишкомъ капризны и черезчуръ требовательны, или сама Эмилія Карловна, не выписывавшая современныхъ модныхъ журналовъ съ картинами и выкройками, и Софья Васильевна, знавшая только три-четыре фасона, не умѣли потрафить заказчицамъ, — только выходило такъ, что рѣдкое платье не возвращалось назадъ для перешивки, и это было мученьемъ для Дарьи Андреевны; бѣсило оно и хозяйку.

— Чортъ бы ихъ побралъ, этихъ франтихъ!— ворчала хозяйка.

— Вы бы, Эмилія Карловна, какой-нибудь модный журналъ выписали,—совѣтовала однажды хозяйкѣ Дарья Андреевна.

— Стану я деньги тратить! Нѣтъ, это онѣ такъ... оттого, что мужья у нихъ на хорошихъ мѣстахъ. Онѣ вѣдь ни уха ни рыла не смыслятъ, а видѣли, что у губернаторши такое-то платье, ну, какъ же отстать?..

Однако, какъ ни тяжело было Дарьѣ Андреевнѣ въ магазинѣ, какъ ни горько иногда было идти безъ копейки денегъ домой, гдѣ нѣтъ ни чаю, ни сахару, ни куска хлѣба, она была довольна своею судьбою. Она жила одна въ своей комнатѣ, гдѣ никто не могъ мѣшать ей, гдѣ надъ ней не было никакого надзора; она крѣпко засыпала на своей жесткой постели, состоявшей изъ ватнаго рваного пальтишки, даннаго ей хозяйкой и покрытаго простыней, подушки и бурнуса, которымъ она одѣвалась.

— Какъ ты, сестричка, можешь спать такимъ образомъ?—спросилъ ее однажды братъ Кузьма.

— Отлично. Какъ день-то посидишь на одномъ мѣстѣ, не поднимая головы, такъ и на голомъ полу заснешь.

— Ужасно!

— Напротивъ, мнѣ такая жизнь гораздо пріятнѣе, чѣмъ та, которой я жила раньше.

XXII.

Дарьѣ Андреевнѣ было весьма непріятно, что она живетъ далеко отъ магазина, и притомъ подъ горой, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ ни тротуаровъ, ни фонарей. Лѣтомъ въ хорошую погоду хорошо ходить сюда; во-первыхъ, она разминаетъ одеревенѣвшіе отъ долгаго сидѣнья члены, а во-вторыхъ, чѣмъ дальше она идетъ отъ магазина и приближается къ своей квартирѣ, тѣмъ лучше становится воздухъ и тѣмъ красивѣе открываются виды. Открывается Волга во всемъ ея величіи и красотѣ, со множествомъ судовъ и пароходовъ, съ ея трудовою жизнію, открываются великолѣпные низменные берега заволжскіе съ зеленѣющимъ лѣсомъ, который чѣмъ дальше, тѣмъ кажется необъятнѣе, выше и какъ-будто превращается въ гору. И солнышко здѣсь не жжетъ, потому-что съ рѣки вѣетъ прохладой; здѣсь и строенія проще, и люди проще, добрѣе и честнѣе, чѣмъ на горѣ; вездѣ здѣсь видится трудъ, а если и случится увидать гдѣ-

нибудь спящихъ мужика или бабу во всемъ, что на нихъ надѣто, спящихъ лежа на спинѣ и, по подобію Іакова, положившихъ головы на полѣно, доску или бревно, такъ вѣдь они уже много сдѣлали дѣла, начавши работу съ четырехъ часовъ утра. Но зимой тутъ не то: Волга покрыта льдомъ; деревья за Волгой посѣрѣли отъ снѣгу; улицы занесло снѣгомъ; занесло снѣгомъ съ горы и маленькіе домики, такъ-что нѣкоторыхъ изъ нихъ съ середи дороги и не видать вовсе, а только отъ воротъ прогребены дорожки, по сторонамъ которыхъ накидано снѣгу выше человѣческаго роста, да отъ оконъ тоже для свѣта отгребенъ снѣгъ. И не узнаешь, что за люди живутъ въ этихъ согрѣваемыхъ снѣгомъ домикахъ. Городомъ идти еще ничего, если и дуетъ вѣтеръ и идетъ снѣгъ; но какъ только она станетъ спускаться подъ гору—такой поднимется вѣтеръ, что она житью своему не рада; бурнусъ у нея лѣтній, да и тотъ собаки порядочно поизорвали; вѣтеръ такъ и пронизываетъ ее до костей, зубъ съ зубомъ не сойдется. Но вѣтеръ еще ничего, а каково въ морозы ходить! Городомъ она пройдетъ двѣ версты; и ей хотя холодно отъ двадцати-градуснаго мороза, однако, идя быстро, она все-таки можетъ согрѣть ноги; но какъ только спустилась подъ гору,—такъ и кажется, что здѣсь уже не двадцать градусовъ, а сорокъ. Въ этихъ случаяхъ Дарья Андреевна днемъ уже не ходила домой, а иногда и ночевала у Эмиліи Карловны, потому-что она уже не разъ знобила носъ, щеки и пальцы на рукахъ и ногахъ. Когда же она приходила домой, съ какою радостію она стучалась въ калитку. «Теперь я дома; теперь я согрѣюсь!»—думала она. Но эта была напрасная радость. Ея комнатка выходила окномъ на рѣку, и хотя въ окнѣ были вставлены двойныя рамы, но два стекла въ зимней рамѣ были разбиты и замазаны бумагой, отчего стекла закуржавѣли. Сверху до-низу сквозь эту кору ничего не было видно, и кромѣ того изъ подоконника дуло. Печь топилась изъ другой комнаты, а выходила въ эту треугольникомъ, и въ ней была сдѣлана отдушина, но тепла какъ отъ печки, такъ и отъ отдушины было мало, такъ что Дарья Андреевна поставила свою кровать къ печи и ночью прижималась къ ней. Хорошо еще, что она дома бывала по воскресеньямъ, а то ей житья не было бы днемъ оттого, что какъ только сосѣдка истопитъ печь и откроетъ душникъ, снѣгъ со стеколъ начинаетъ таять, и въ комнатахъ какъ у сосѣдки, такъ и Дарьи Андреевны дѣлается угаръ, отъ котораго сосѣдка спасается у хозяйки, затыкая уши замороженной клюквой, чему подражала и Дарья Андреевна. Хотя Дарья Андреевна и писала мачехѣ, чтобы она выслала ей съ кѣмъ-нибудь шубу на барашковомъ мѣху, но та не отвѣчала долго, а потомъ увѣдомила, что братъ Кузьма не совѣтуетъ ей, мачехѣ, высылать шубу на томъ основаніи, что Дарья Андреевна живетъ въ такой квартирѣ, гдѣ могутъ шубу украсть.

Зачѣмъ же Дарья Андреевна живетъ въ такой холодной комнатѣ, не имѣя теплой одежды, и притомъ такъ далеко отъ моднаго магазина?—спроситъ читатель. А живетъ она тутъ потому, во-первыхъ, что зарабатываетъ такъ немного денегъ, что ихъ едва хватаетъ на расплату за комнату и пищу; во-вторыхъ, ей некогда искать квартиру, и въ-третьихъ, ей неловко было разстаться съ своей сосѣдкой, которую она полюбила, какъ мать, и которая съ своей стороны полюбила Дарью Андреевну, какъ дочь.

Сосѣдка ея была старушка Ольга Герасимовна Мартыновна. Она только-что лѣтомъ овдовѣла. Мужъ ея былъ нѣсколько лѣтъ присяжнымъ въ казначействѣ, и супруги жили такъ дружно другъ съ другомъ, что когда померъ мужъ, съ Ольгой Герасимовной сдѣлался параличъ, отъ котораго она лѣчилась въ больницѣ четыре мѣсяца, но все-таки и до сихъ поръ не можетъ совсѣмъ владѣть лѣвой рукой, плохо видитъ, плохо слышитъ и гнуситъ. Но несмотря на такое уродство и свою старость (ей 78-й годъ), Ольга Герасимовна существо въ высшей степени доброе, общительное, не могущее съѣсть куска хлѣба одна. Пенсіи она получаетъ въ мѣсяцъ всего три рубля съ копейками, но покойный мужъ, служа въ казначействѣ, накопилъ немного, и даже подумывалъ купить своей старухѣ домъ, такъ-что она говорила: «мнѣ до смерти хватитъ». Впрочемъ она была женщина экономная, мяса со смерти мужа въ ротъ не брала, рѣдко ѣла рыбное и только никакъ не могла прожить дня безъ кофе. Кромѣ этого она была женщина набожная, любила слушать что-нибудь религіозное. «Прежде, при мужѣ, я сама читала; у меня вонъ и Библія есть, и Четьи-Минеи за январьскую треть, а теперь слѣпа стала; никакіе очки не дѣйствуютъ», жаловалась она Дарьѣ Андреевнѣ. Но при всемъ этомъ она не была ханжой и лицемѣркой, любила правду, терпѣть не могла лести, не любила кланяться и чего-нибудь вымаливать. «Мнѣ слѣдовало бы больше получать пенсіи, потому мужъ служилъ не одному царю и въ двухъ службахъ. Стала я было говорить объ этомъ начальству, да сказали: на что тебѣ, старуха, деньги; вѣдь ты помрешь скоро. Ну, я и плюнула на все. Хапайте, коли вамъ дольше моего жить. А вѣдь еслибы я просить стала, дали бы пенсіи побольше». Но она и хвастаться чѣмъ-нибудь не любила, хотя, какъ поразскажетъ, она въ эти восемь лѣтъ много видала и хорошаго и худого. Старушка она была смирная. Дарья Андреевна ни разу не слыхала, чтобы она обругала кого-нибудь или крикнула; она говорила ровно, большею частію съ шуточками, какъ будто съ ней не было никакого удара въ жизни; когда же она была въ своей комнатѣ, то ея не слышно было. Дарью Андреевну она полюбила съ перваго же раза за ея простоту, ласковое обращеніе и за то, что Дарья Андреевна избрала для себя трудовой путь жизни.

Видя, что у Дарьи Андреевны ничего нѣтъ, кромѣ небольшого узла, въ которомъ заключалось бѣлье и зная жизнь швеи,—такихъ швей, которыя въ магазинахъ не живутъ, а только ходятъ туда шить,—Ольга Герасимовна приняла въ ней съ другого же дня участіе. Утромъ она пригласила ее къ себѣ пить кофе, поразспросила ее о прошедшей жизни и стала учить, какъ жить. Она судила по себѣ и предсказывала, что въ жизни ея можетъ встрѣтиться много сучковъ и задоринокъ, и наставляла какимъ образомъ все это

можно перенести. Правда, всѣ эти наставленія отзывали стариной, но въ нихъ и дѣльнаго было много, такъ-что они такой дѣвушкѣ, какъ Дарья Андреевна, не имѣвшей друзей въ городѣ, могли пригодиться во всякое время.

— Ты еще дитя, говорила Ольга Герасимовна,— ты только начала жить сама собой и для самой себя. Есть много дѣвушекъ, которыя также работаютъ, но тѣ работаютъ для кого-нибудь; для матери или сестеръ... А ты одна. Ты настояла на своемъ—взяла да и ушла изъ отцовскаго дома и отъ родни. Но обдумала ли ты этотъ поступокъ, чѣмъ это пахнетъ? Родные теперь тебя не примутъ. Вѣдь все можетъ случиться: можешь захворать или что другое. Одно мѣсто не навѣки. Вотъ я прежде, какъ дѣвицей была, бурнусика не имѣла, бѣгала въ одномъ платьишкѣ, на ногахъ были одни дырявые чулки, а получала и вполовину меньше твоего, и вотъ жива же до сихъ поръ. Оно положимъ, содержаніе тогда было дешевлѐ, и деньги считали на ассигнаціи, только не всѣ такъ были крѣпки; у моихъ подругъ никогда денегъ не было, и онѣ постоянно находились въ долгу у хозяекъ, и съ отчаянія доходили до...—И она махнула рукой.—А все это оттого, что характеру нѣтъ. Бывало—сидишь въ мастерской въ лѣтнюю пору, окошки открыты, духота, а онѣ и пялятся въ окошки по самый животъ, да только и слышно хи-ха да ха-ха! И диви бы съ кѣмъ, а то съ подмастерьями, съ мальчишками, у которыхъ у самихъ въ животахъ-то вѣтры ходятъ. Да, мать моя, жизнь велика. Мало ли что можетъ случиться. И хорошій, кажется, попадется человѣкъ, прекрасный, стоящій вниманія, онъ тебя и такъ, и эдакъ—всяко будетъ умасливать, а потомъ и окажется, что онъ негодяй и жизнь твою испортилъ, сократилъ. Со мной былъ одинъ такой казусъ. Иная бы на моемъ мѣстѣ, Богъ знаетъ что, натворила, но я скрѣпилась; это мнѣ былъ хорошій урокъ; я стала осторожнѣе, и вотъ только на сороковомъ году вышла замужъ и прожила припѣваючи тридцать восемь годочковъ. Рѣшиться на что-нибудь очень можно, вѣдь бросаются же въ воду люди, а когда ихъ вытащатъ да возвратятъ къ жизни, они и каются. Ты говоришь, что ты все обдумала,— прекрасно; но обдумывать мало ли что можно. Знаю, что ты и ночи не спала, но вѣдь ночью темно; а въ твоей головѣ такія штуки происходятъ, что на самомъ дѣлѣ ихъ и нѣту вовсе, а только въ воображеніи. Помню, когда я была дѣвицей, наша хозяйка разыгрывала старинные золотые часы; цѣна билету была полтинникъ. А я въ то время жила уже съ мужчиной,— онъ ходилъ ко мнѣ. Ну, деньги стало водились. Взяла я два билета на свое имя и на счастье любовника. Взяла и думаю, что какъ только я эти часы выиграю, сейчасъ продамъ ихъ; денегъ у меня будетъ много, я найму себѣ большую квартиру, пущу въ нее квартирантовъ и буду жить припѣваючи, какъ живутъ нѣмки и польки. И такъ эта проклятая мысль засѣла мнѣ въ голову, что я долго не могла заснуть ночью, даже и во снѣ снились все какія-то палаты. Дошло до того, что я уже стала голову держать гордо; всѣ люди кажутся мнѣ маленькими; я воображала, что я хозяйка большой квартиры, и опомнилась только тогда, когда часы выиграла наша же дѣвушка, которой я не любила. На первыхъ порахъ я было чуть не прибила ея, но опомнилась и едва-едва не слегла. Такъ-то вотъ и ты. Передъ тобой теперь новая жизнь, все равно что лѣсъ, въ которомъ не знаешь, гдѣ ростетъ малина или какой-нибудь любимый грибъ. И если ты уже рѣшилась идти въ этотъ лѣсъ, то должна имѣть терпѣніе и терпѣніе надолго, потому-что можетъ случиться, что ты любимаго-то гриба и не отыщешь, а платье свое изорвешь о пни и сучья, руки исколешь, и лицо тебѣ исцарапаютъ колючія елки и сухія вѣтки. А лѣсу у насъ, слава Богу, много, унывать нечего: въ этомъ худо—болото да трясина,—въ другой, въ третій можешь идти. Главное терпи, будь самостоятельна и никому не поддавайся.

Дарья Андреевна слушала эту проповѣдь со вниманіемъ. Она ни одного слова не забыла изъ нея; въ ней было много справедливаго и согласнаго съ ея взглядами на жизнь,—и она полюбила старуху. Съ этихъ поръ она съ тоскою шла изъ квартиры и возвращалась домой измученная, съ надеждою на подкрѣпленіе. Старуха постоянно спрашивала ее, когда она уходила изъ квартиры, придетъ ли она обѣдать, а если не придетъ, то придетъ ли хоть ночевать, и ждала ее.

Съ перваго же дня Ольга Герасимовна стала принимать участіе и слѣдить за своей молодой, неопытной сосѣдкой.

Когда Дарья Андреевна вернулась домой поздно вечеромъ, Ольга Герасимовна спросила ее:

— Неужели все шила?

— Да. Хозяйка много работы надавала.

— Ну, какъ швеи?

— Ничего. Немножко какъ будто косятся.

— Ну, безъ этого нельзя; только не стóитъ на это обращать вниманія: перемелется—мука будетъ. А ты обѣдала ли?

— Сaечникъ приносилъ булки, такъ я ѣла булку.

— Ну, это плохо; надо горячаго чего-нибудь, ты еще молодая. А вотъ у меня есть калиновый кисель. Славный кисель. Поѣшь.

— Покорно благодарю. Я сыта: дорогой купила булку и съѣла.

— Ну, мать моя, если ты будешь ѣсть все булки да булки, тогда тебѣ много нужно денегъ. А ты вотъ отрѣжь-ко ржаного хлѣбца, посоли его, да и похлебай киселя. Чудесное дѣло будетъ.

— Право, мнѣ совѣстно...

— Полно, мать моя, церемониться.

Ольга Герасимовна достала изъ шкафа большой горшокъ, наполненный красною густою жидкостью съ калиновыми ягодами, краюху черствaго ржаного хлѣба, ножикъ и двѣ деревянныя ложки.

— Садись, и я поѣмъ съ тобой. Я было начала давеча ѣсть, да аппетиту не было; все тебя поджидала.

Усѣлись, стали ѣсть. Ихъ освѣщалъ огонекъ отъ лампадки. Въ комнатѣ былъ полусвѣтъ. Ольга Герасимовна хлебала больше киселя, размачивая въ немъ хлѣбъ, потому-что у нея мало было во рту зубовъ. Дарья Андреевна тоже ѣла съ аппетитомъ.

— Ну что, каковъ кисель? — спросила Ольга Герасимовна, когда киселя уже порядочно поубавилось.

— Хорошъ, только немного киселъ.

— Ну, это тебѣ такъ кажется. Ты ѣдала ли когда?

— Какъ же. Папаша очень любилъ, и мы тоже любили, только братъ Кузьма терпѣть его не можетъ.

Вдругъ Дарья Андреевна взглянула на ложку. Въ ложкѣ оказалось нѣсколько разбухшихъ таракановъ... Она не могла больше ѣсть.

— Что же ты уминчаешь? Ѣшь!

— Тараканы, Ольга Герасимовна!

— Гдѣ?

— Въ киселѣ.

— Не можетъ быть?!

Ольга Герасимовна засуетилась, зажгла сальную свѣчку, поставила ее надъ горшкомъ и стала мѣшать въ немъ жидкость ложкой. Въ жидкости оказалось множество таракановъ Дарью Андреевну передернуло, но Ольга Герасимовна, усмотрѣвъ въ ложкѣ двухъ таракановъ, хладнокровно опустила ихъ назадъ въ горшокъ.

— Эдакіе вѣдь, право, негодяи! Киселя захотѣли кушать. Вотъ Господь ихъ и наказалъ—подохли... Я тоже чувствовала, что какъ будто немного кисловато! Испортиться киселю, кажется, не отъ чего,—вчера варила. А вонъ она какая оказія-то. Тьфу! много ихъ въ горшкѣ-то?

— Да столько же, сколько и ягодъ.

— Ну, слава Богу. Теперь ихъ у меня меньше будетъ. А то недѣлю тому назадъ, такъ въ оба уха по таракану залѣзло. Насилу деревяннымъ масломъ ихъ оттуда выжила. А ты, мать моя, извини меня, слѣпую старуху, что я тебя такимъ кушаньемъ угостила! И не думай объ нихъ, еще тошнить будетъ... Поди выпей воды—все пройдетъ.

Черезъ два дня послѣ этого было воскресенье. Дарья Андреевна, получившая заработанную плату, имѣла денегъ 75 коп. и не знала, что ей изготовить. У нея еще съ вечера были куплены осьмушка чая и четверть фунта сахару. Заварила она чаю въ чайникѣ сосѣдки и позвала ее пить чай. Сосѣдка не отказалась, а только сказала, что она хотя и выпьетъ чашку чая, но кофе пить все-таки будетъ послѣ обѣдни и что Дарья Андреевна тоже должна выпить съ нею кофею.

— Не знаю, что̀ бы мнѣ сварить сегодня? — начала Дарья Андреевна.

— Купи ершей и свари уху.

— Я щей хочу.

— Ну, свари щи, я дамъ горшокъ, только ты мнѣ его вымой потомъ хорошенько. Да ты сумѣешь-ли купить говядины? Пойдемъ вмѣстѣ.

Пошли онѣ на рынокъ, и Ольга Герасимовна замучила Дарью Андреевну: для того, чтобы купить три фунта хорошаго мяса дешевле, она водила ее по всѣмъ лавкамъ и въ нѣкоторыя заходила даже раза по два, такъ-что у Дарьи Андреевны не хватило терпѣнія.

— Да будетъ вамъ, Ольга Герасимовна, торговаться-то: вѣдь дешевле семи копеекъ нигдѣ не продаютъ.

— Что̀ у тебя деньги-то шальныя что ли? Ты то вспомни, что еще за квартиру не заплатила, а уже къ хозяйкѣ съ горшкомъ въ ея печь хочешь лѣзть.

Почти всѣ лавочники и торгаши давно звали Ольгу Герасимовну и ея обыкновеніе прицѣняться. Увидавъ ее съ дѣвушкой, они удивились.

— Давненько васъ не видать, Ольга Герасимовна. Какъ вы устарѣли за это время?!

— Что дѣлать! Будетъ время, и вы состаритесь.

— И какую молодуху подцѣпили къ себѣ!

— Вы языкомъ-то мелите сколько угодно, а мнѣ все-таки давайте хорошей говядины. Дороже пяти копеекъ я не дамъ.

Кое-какъ она нашла мяса по пяти съ половиною копеекъ за фунтъ.

Черезъ недѣлю хозяйка дома стала просить у Дарьи Андреевны деньги за квартиру, а у нея было всего только двадцать копеекъ. Запечалилась Дарья Андреевна и, прошедши прямо въ свою комнату, не ѣвши легла въ постель, думая, какимъ бы ей манеромъ достать денегъ... Но сколько она ни думала, а денегъ достать не откуда. У брата просить не хотѣлось, потому-что онъ за поступленіе ея въ швеи высказалъ ей неудовольствіе и прибавилъ, что онъ даже въ случаѣ крайности не дастъ ей ни копейки. Раздумалась она объ этой тяжелой трудовой жизни, припомнились ей косые взгляды Софьи Васильевны и Кати; горько ей стало, и—она заплакала.

Въ ея комнату вошла Ольга Герасимовна со свѣчей.

— Что это, мать моя, улеглась такъ рано, и ко мнѣ не зашла? Я бы тебя попотчивала гороховымъ киселемъ,—проговорила она, подходя къ кровати.

Дарья Андреевна присѣла и зарыдала.

— Что это, мать моя! Что это съ тобой! Али кто обидѣлъ?

— Ахъ... нѣтъ... Оставьте меня...

— Ты старуху не гони; старуха тебѣ пригодится.—Она сѣла на кровать.—Ну, говори, что̀ случилось?

— Хозяйка за квартиру деньги проситъ, а у меня всего двадцать копеекъ.

— Дурочка ты моя! Сто̀итъ изъ-за чего убиваться! Да ты бы мнѣ сказала... Али я не сто̀ю твоего вниманія?

— Благодарю васъ, Ольга Герасимовна!... Но какъ же я буду просить у васъ, если и сама не знаю, когда буду имѣть столько денегъ, чтобы отдать вамъ?

— Господи помилуй! Да развѣ я не человѣкъ и не живала сама въ нуждѣ... Я не ростовщикъ какой. Вѣдь у тебя руки здоровыя: сто̀итъ только поработать хорошенько и деньги будутъ. Деньги у меня найдутся, а отдашь, когда поопершься немного.

Такимъ образомъ Ольга Герасимовна помогла Дарьѣ Андреевнѣ; деньги за квартиру были заплачены.

Дарья Андреевна спала крѣпко; сосѣдка пробуждалась рано и постоянно будила ее стукомъ въ дверь. Утромъ онѣ вмѣстѣ пили кофе, который уже стали покупать пополамъ. Уходя, Дарья Андреевна

цѣловала старуху, которая ее крестила и провожала до лѣстницы, какъ родную дочь.

Недѣли черезъ полторы послѣ того, какъ Дарья Андреевна заняла у Ольги Герасимовны деньги, она получила отъ Эмиліи Карловны деньги. День былъ субботній. Послѣ обѣда Дарья Андреевна была свободна. Пообѣдавши, она явилась къ своей сосѣдкѣ.

— Я вамъ принесла долгъ,—сказала она и подала ей деньги.

— Много ли ты получила?

Дарья Андреевна сказала, что получила около четырехъ рублей.

— Ну, этого мало; однако я у тебя возьму рубль, остальныя отдашь послѣ.

— Да мнѣ теперь не надо денегъ; я, пожалуй, ихъ на пустяки истрачу.

— Ну, какъ же ты не глупая дѣвушка, что жить не умѣешь, а еще захотѣла жить сама собой. Ты погляди-ка на себя; у тебя вонъ у сапожонковъ-то подошвы отстали, носки ѣсть просятъ. А погода стоитъ скверная, и съ такою обувью ты скоро горячку получишь. И дивибы далеко ходить! Въ нашемъ же домѣ живетъ сапожникъ, пошла къ нему и заказала. Онъ человѣкъ хорошій: денегъ не хватитъ, — подождетъ. Ему не привыкать стать ждать долги: на господахъ онъ и по полугоду ждетъ.

И старуха повела Дарью Андреевну къ сапожнику.

Хозяинъ дома, Петръ Степанычъ Удинцовъ, былъ уже старикъ, съ курчавыми сѣдыми волосами и густой сѣдою бородою. Но онъ былъ крѣпкій старикъ и бо́льшую часть дня проводилъ на рѣкѣ на рыбной ловлѣ, отчего большая комната—она же и кухня,—занимаемая имъ и его женою, тоже пожилою женщиною, имѣла видъ рыбацкой избы: тутъ были его морды и переметы, и разныя снасти, съ палатей свѣшивался неводъ. Жена его дома жила тоже рѣдко, такъ какъ считалась за лѣкарку и занималась повивальнымъ ремесломъ. Дома жила только жена ихъ сына, Максима, Татьяна Савельевна, которая стряпни ничего не дѣлала, а больше лежала; мужъ же ея служилъ зимой по волѣ въ уголовной палатѣ, а лѣтомъ занимался съ отцомъ рыбною ловлею. Сынъ занималъ отдѣльную комнату, въ которую входилъ изъ кухни; по другую сторону кухни жилъ сапожникъ; входъ къ нему былъ изъ сѣней. Это былъ отставной солдатъ, человѣкъ лѣтъ сорока, но человѣкъ крѣпкаго сложенія и съ красивымъ лицомъ. Когда Ольга Герасимовна привела къ нему Дарью Андреевну, сапожникъ курилъ махорку, а Татьяна Савельевна, стоя у дверей, о чемъ-то говорила громко и плакала. При ихъ приходѣ она смѣшалась и косо взглянула на Дарью Андреевну.

— Здорово, Семенъ Семенычъ. Давненько не видились; какъ живешь?—проговорила Ольга Герасимовна.

— Твоими молитвами, бабушка... Извините, барышня, у меня хоть и есть стулья, да одинъ безъ одной ноги, другой шатается, третій только сегодня склеилъ. Ужъ вы на кровать садитесь.

— Мы ненадолго. Ей вонъ ботинки нужны.

— Это мы можемъ... А у васъ, барышня, ноги-то вѣрно закаленыя.

— Какъ такъ?

— А сапожки-то ужъ больно плохи. А вы оставьте-ко ихъ, я попробую ихъ починить, можетъ еще съ мѣсяцъ проносите. Снимите-ко.

Дарья Андреевна сняла сапожки; чулки были мокрые.

— Ай-ай-ай! Стыдно вамъ не беречь себя... Татьяна Савельевна! нѣтъ ли у васъ лишнихъ ботинокъ, ссудите барышню.

— Да, поди, велики будутъ? — отвѣтила та нехотя.

— А вамъ жаль... Эхъ, какъ вамъ не стыдно... Ну, я свои калоши дамъ.

— Благодарю, у меня есть калоши,—проговорила Дарья Андреевна съ краснымъ отъ стыда лицомъ.

— И тоже съ дырами! А вы и калоши принесите мнѣ.

Татьяна Савельевна ушла.

— Опять ее благовѣрный-то приколотилъ пьяный. Бѣда ей эта зима! — говорилъ сапожникъ про Татьяну Савельевну, когда та ушла.

— Вольно же ей сидѣть сложа руки или лежать,—замѣтила Ольга Герасимовна.

— Скучаетъ она очень! — и сапожникъ, вздохнувъ, сталъ снимать мѣрку съ ноги Дарьи Андреевны.

Сапожникъ запросилъ за ботинки два рубля, но по настоянію Ольги Герасимовны обѣщался сшить за рубль съ четвертью, да за починку старыхъ сапожковъ взялъ тридцать коп.

Татьяна Савельевна принесла заплѣсневѣлыя ботинки: онѣ хотя уже и не годились для дальней ходьбы, но дома въ нихъ ходить еще можно было.

— Мнѣ, право, совѣстно... Я ей Богу не знаю, какъ и благодарить васъ, — говорила Дарья Андреевна стыдливо; на глазахъ ея вертѣлись слезы.

— Вотъ еще! Это пустякъ. Мнѣ ихъ совсѣмъ не надо... такъ же валялись... А я васъ все позабываю какъ звать...—говорила Татьяна Савельевна.

Дарья Андреевна назвалась.

— Вы любите въ карты играть?

— Не очень.

— Сыграемте въ дурачки. Мнѣ скучно одной-то; стариковъ нѣтъ, мужъ приходилъ пьяный, прибилъ меня и придетъ, навѣрно, ночью, а если не придетъ, то значитъ въ части будетъ спать.

— Что же иди, поиграй, поразвлекись немного, а я пойду—можетъ вздремлю.

Дарья Андреевна давно хотѣла познакомиться съ Татьяной Савельевной, но ей казалось, что та какъ будто не хочетъ знаться съ швеей изъ чиновнаго сословія, брезгуетъ ею. На ея поклоны Татьяна Савельевна еле-еле шевелила головой или отворачивалась отъ нея, нехотя отвѣчала ей. Къ тому же голосъ у нея былъ грубый и въ улыбкѣ было что-то злое; теперь же, послѣ того какъ та дала ей свои негодные ботинки, дала точно Христа ради, отказаться Дарьѣ Андреевнѣ отъ приглашенія играть въ карты было неловко. «Не всеже мнѣ сидѣть со старухой да слушать ея наставленія». Надо замѣтить, что Дарья Андреевна хотя и любила старуху и привязалась къ ней, но постоянные совѣты и наставленія, навязчи-

вость, свойственные старымъ людямъ, у которыхъ нѣтъ и не бывало своихъ дѣтей, начали казаться приторными; она чувствовала, что при ея простотѣ и уступчивости, старуха почти совсѣмъ завладѣла ею; она чувствовала себя безсильною въ преніяхъ со старухой, которая не одобряла новые порядки; ей становилось скучно съ ней, потому-что ея развитіе не подавалось впередъ, но какъ будто стало на одномъ мѣстѣ.

Комната у Татьяны Савельевны была большая въ два окна, свѣтлая, чистая, съ оклеенными писчей бумагой стѣнами, съ вымытымъ дресвою поломъ, отчего половницы казались желтыми. По убранству комнаты, по мебели, по двумъ большимъ сундукамъ, покрытымъ тканными разноцвѣтными половиками, и по порядочной зимней одеждѣ, развѣшанной на вѣшалкѣ въ углу между печью и кроватью, Дарья Андреевна заключила, что хозяева люди зажиточные.

Усѣлись за крашенный столъ, стоящій между двухъ оконъ передъ зеркаломъ. Татьяна Савельевна достала изъ стола засаленныя разнаго крапа карты.

— Вы ворожить умѣете?—спросила она Дарью Андреевну.

— Нѣтъ.

— А я умѣю. Меня мужнина мать научила. Хотите погадаю?

— Нѣтъ, не надо. Мнѣ не объ чемъ гадать.

— Будто ужъ и не объ чемъ! Дорога, вѣсти, письмо, женихъ... Вамъ какой нравится: бубновый или трефовый?

— Никакой не нравится.

— Такъ вотъ вамъ и повѣрили? Развѣ безъ жениха можно?

— У меня нѣтъ жениха, и я не желаю.

Татьяна Савельевна захохотала.

— Вотъ и видно, что вы монашка. Мнѣ Максимка говорилъ, что вы въ монастырѣ были. Правда ли, что монашекъ стригутъ, какъ рекрутъ?

Разговоръ продолжался нѣсколько минутъ о пребываніи Дарьи Андреевны въ монастырѣ, о монастырской жизни, о родныхъ Дарьи Андреевны, потомъ перешелъ на магазинъ.

— Вамъ не скучно со старухой?—спросила Татьяна Савельевна, когда разговоръ дошелъ до Ольги Герасимовны.

— Нѣтъ, я вѣдь дома мало бываю. Она старуха хорошая.

— Старуха хорошая, что и говорить. Только она страшная ворчунья. А мы ее всѣ любимъ. Она вѣдь большія деньги имѣетъ. Недавно тесть взялъ у нея въ долгъ пятнадцать рублей на лѣсъ. А говорунья страшная, говоритъ, говоритъ—заслушаешься. Я думаю, она вамъ всѣ уши прожужжала.

— Нѣтъ... ничего.

— Тесть вотъ ея не очень долюбливаетъ за болтовню. Слушаетъ, слушаетъ онъ ее, потомъ встанетъ и скажетъ: «полно тебѣ, старуха, языкъ-то чесать! И какъ это у тебя горло не пересохнетъ». А вы, Дарья Андреевна, какъ будетъ вамъ скучно, приходите ко мнѣ, когда мужа нѣтъ. Вы въ банѣ не были сегодня?

— Нѣтъ, не была.

— Я недавно истопила баню, вотъ какъ теща сходитъ съ Ольгой Герасимовной—онѣ вмѣстѣ ходятъ,—мы и пойдемъ съ вами.

Дарья Андреевна согласилась. Стали играть въ карты; Татьяна Савельевна играла съ охотой и даже плутовала, стараясь оставить Дарью Андреевну дурой, но Дарья Андреевна играла разсѣянно. Она больше думала о той разницѣ, которая отдѣляетъ ее отъ Татьяны Савельевны: эта женщина и сыта, и одѣта, и нужды ни въ чемъ не знаетъ; дѣлать ей нечего да и лѣнь, ей скучно; одно только ее безпокоитъ: мужъ—пьяница и драчунъ; но она его, какъ видно, любитъ. Пришла теща, высокая, худощавая пожилая женщина съ чистымъ, но бронзоваго цвѣта лицомъ. Поклонившись Дарьѣ Андреевнѣ, она спросила Татьяну Савельевну о банѣ, велѣла достать бѣлья и пошла звать Ольгу Герасимовну.

Послѣ бани Татьяна Савельевна пригласила Дарью Андреевну къ себѣ на чай. Когда онѣ пришли въ хозяйскую квартиру, тамъ въ комнатѣ на столѣ стоялъ уже шипящій самоваръ съ чайнымъ приборомъ на четыре человѣка; теща Татьяны Савельевны чесала передъ зеркаломъ волосы, а Ольга Герасимовна отдыхала на кровати.

— Понравилась ли вамъ баня?—спросила хозяйка Дарью Андреевну.

— Жарко очень—духъ захватываетъ.

— А вы бы на моего муженька посмотрѣли... Ужъ я люблю париться, но онъ куда... Я удивляюсь, какъ это онъ еще живъ!

Наконецъ, усѣлись за столъ. За чаемъ разговоры шли о дороговизнѣ, о кулакахъ и т. п. Время шло незамѣтно, такъ-что зажгли свѣчку. Пришелъ и самъ Петръ Степановичъ и тоже ушелъ въ баню.

Гости стали прощаться.

— Вы, Дарья Андреевна, когда вамъ свободно, приходите къ намъ посидѣть. Мой старикъ давно тарантитъ мнѣ, чтобы я пригласила васъ къ себѣ. Приходите завтра къ намъ обѣдать,—говорила Елена Никоновна, провожая Дарью Андреевну.

Ольга Герасимовна была въ восторгѣ отъ этихъ словъ, а Дарья Андреевна была рада, что она въ хозяевахъ дома нашла хорошихъ людей.

XXIII.

Дарья Андреевна была довольна своею новою жизнью: квартира у нея была хотя холодная, но все-таки есть гдѣ отдохнуть, да вѣдь и холодъ не вѣченъ: пройдетъ мѣсяца два-три, настанетъ тепло; Эмилія Карловна, какъ кажется, благоволитъ къ ней; работы у нея много, и къ декабрю мѣсяцу ей причиталось получить съ Петерсонъ рублей пять съ половиной, которые Дарья Андреевна уже заблаговременно распредѣлила, а именно хотѣла отдать остальной долгъ сапожнику и Ольгѣ Герасимовнѣ и купить у послѣдней теплый платокъ. Хозяева дома, особенно Татьяна Савельевна, любили ее, и она часто сидѣла у нихъ, когда не было работы въ магазинѣ. Съ помощью этихъ добрыхъ людей ей жить можно было тѣмъ болѣе, что на пищу у нея выходило немного. Мясное она ѣла только въ праздники, когда бывала дома; случалось, что Удинцовы приглашали

ее обѣдать за то, что она скроила и помогла шить Татьянѣ Савельевнѣ платье и кое-что починивала имъ. Можетъ быть за это, а можетъ быть и убѣдившись, что комната Дарьи Андреевны дѣйствительно холодная, Елена Никоновна сбавила за квартиру рубль. Въ ея комнатѣ всегда было чисто. Каждую субботу, по утрамъ, она мыла полъ не только у себя, но и у Ольги Герасимовны; обѣ эти комнаты она по утрамъ мела вѣникомъ. Бѣлье она стирала тоже сама, только на рѣку не ходила полоскать его, потому-что бѣлья было немного. Такимъ образомъ она была постоянно занята и ложилась спать со спокойной душой. Такая жизнь казалась ей хорошею; она радовалась, что живетъ этою жизнію. Но еще было бы лучше, еслибы швеи не сердились на нее, и не острилъ надъ нею братъ Кузьма.

Со времени поступленія въ магазинъ Петерсонъ Дарья Андреевна не была ни у дяди Ипполита Аполлоновича, ни у Телѣжниковой, ни у Платоновыхъ; была разъ у брата Кузьмы, но его не застала дома, а хозяйка его сказала ей по обыкновенію, что онъ вѣроятно дежуритъ. Ее безпокоила судьба Марьи Андреевны, но Марья Андреевна однажды сама пришла съ Кузьмой къ ней. Марья Андреевна едва не замерзла въ комнатѣ своей сестры: у нея озябли ноги, посинѣло лицо, и она кое-какъ отогрѣлась кофеемъ. Ей не нравилась мѣстность, въ которой жила ея сестра, потому-что дулъ рѣзкій вѣтеръ, и было очень снѣжно, а дорога среди улицы до того непроѣзжена, что положительно приходилось тонуть по колѣна въ снѣгу; ей противенъ казался домъ, въ которомъ жила ея сестра: съ виду онъ казался очень ветхимъ; мезонинъ покачнулся на лѣвый бокъ; въ сѣняхъ пахло чѣмъ-то прокислымъ; лѣстница, что шла въ мезонинъ, была ветхая, и Марья Андреевна боялась, чтобы ступенька не обломалась подъ ней. Ей не понравилась старуха Ольга Герасимовна, пришедшая къ Дарьѣ Андреевнѣ, чтобы познакомиться съ ея сестрой, и она никакъ не могла сдержать своихъ улыбокъ, когда та гнусила; противна ей показалась и Матреша, которая въ этотъ день была у Дарьи Андреевны.

— Ну, сестричка, я къ тебѣ ужъ больше не приду зимой, — сказала Марья Андреевна сестрѣ еще до кофе.

— Что такъ?

— Да больно далеко, больно снѣгу много и холодно.

— Какъ ты изнѣжена, сестричка.

— Помилуй! Да такъ только нищіе живутъ.

— Видно, что вы далеко своей сестрицѣ не пара, — вмѣшалась Ольга Герасимовна.

Марья Андреевна обидѣлась.

— Гдѣ ужъ намъ!—отвѣтила она и закурила папироску.

А послѣ кофе, когда вышелъ братъ Кузьма, она сказала сестрѣ:

— Напрасно ты, сестрица, обижаешь дяденьку...

— Чѣмъ это я его обижаю?

— Да какъ же, ушла и якшаешься, Богъ знаетъ съ кѣмъ.

— Съ кѣмъ же я якшаюсь?

— Да вонъ съ какой-то дѣвчонкой, со старухой гнусливой. Какая противная старуха!

— Пожалуйста, прошу не выражаться такъ о моихъ друзьяхъ.

— Хороши друзья!.. Подумай, что о тебѣ говорятъ.

— Очень мнѣ нужно!.. Я очень довольна своею жизнью.

— Ну, я не завидую. Вонъ ты какъ похудѣла! Щеки сдѣлались, какъ у покойника...

— А какъ твоя свадьба—будетъ или нѣтъ?— спросила вдругъ Дарья Андреевна, не желая слушать больше упрековъ.

— Ужъ разумѣется не по-твоему.

Дарья Андреевна старалась развеселить и успокоить какъ-нибудь сестру, и это ей удалось скоро. Она навела разговоръ на жениха Марьи Андреевны.

— Онъ чиновникъ? — спрашивала Дарья Андреевна.

— А какъ же! У него три чина; у его матери есть домъ. Дяденька хочетъ дать ему должность.

Пришелъ Кузьма.

— А хозяйка-то у тебя, сестричка, таки ничего...— сказалъ онъ, входя съ улыбкой.

— Въ какомъ отношеніи?

— Красивая... Только груба, какъ и всѣ эти мѣщанки. Ну, Маша, пойдемъ. Я здѣсь совсѣмъ замерзъ. Да что же ты, Даша, не придешь къ дядѣ и къ Платоновымъ? Семенъ Елизарычъ пріѣхалъ.

— Нечего мнѣ дѣлать у нихъ. Ну, Маша, разсказывай про своего жениха. Что онъ, молодъ, красивъ?

— Онъ тридцати-пяти лѣтъ.

— Карявый и пьяница,—прибавилъ Кузьма.

— Ужъ пожалуйста!—обидѣлась Марья Андреевна на брата.—Онъ—человѣкъ скромный, вѣжливый, обходительный. Лучше Павлова въ тысячу разъ.

— Да вѣдь и Павловъ былъ тоже вѣжливъ. Что жъ, онъ любитъ тебя?

— Ужъ должно, что любитъ, иначе не сватался бы.

— Смотри, сестра, не ошибись! Помни, что его дядя тебѣ сосваталъ, а не ты его выбрала. А что, Маша, теперь ужъ у тебя нѣтъ охоты жить какъ-нибудь иначе?

— Какъ?

— Помнишь, ты однажды плакала... у дяди плакала. Тогда и тебѣ хотѣлось жить иначе.

— Мало ли что тогда было!..

Братъ съ сестрой ушли, а Дарья Андреевна долго думала о своей сестрѣ.

Однако, какъ ни нравилась Дарьѣ Андреевнѣ ея жизнь, а утромъ она вставала нехотя. Она чувствовала въ это время то же самое, что чувствуетъ школьникъ, которому нужно повторить заданный урокъ и которому очень не хочется идти въ училище, если онъ не знаетъ урока. Хотя голова ея и была свѣжа, но мысль о хлѣбѣ крѣпко озабочивала ее, потому-что деньги достаются нелегко. Она чувствовала какую-то пустоту; однообразіе стало надоѣдать ей; ей хотѣлось читать, но книгъ взять не у кого; записаться въ публичную библіотеку—нѣтъ лишнихъ денегъ, да и читать-то некогда; хотѣлось ей и въ театръ сходить—тоже не на что.

«Плоха наша рабочая жизнь», думала она утромъ на другой день послѣ визита къ ней сестры: «хочется развлечься чѣмъ-нибудь, посмотрѣть, почитать

что-нибудь хорошее, а нѣтъ ни денегъ ни времени. А вѣдь какъ хочется-то! Сидишь, сидишь все на одномъ мѣстѣ, въ глазахъ рябитъ, спина болитъ, и получаешь такъ мало, и за все это тебя же презираютъ. Какъ не позавидуешь такимъ людямъ, какъ сестра: ничего-то она не дѣлаетъ тяжелаго, а если что и дѣлаетъ, такъ шутя, со скуки. Дай-ка ей сдѣлать что-нибудь на урокъ, она будетъ ругаться. И ѣстъ она вдоволь, и вино пьетъ за обѣдомъ, а, пожалуй, Платоновы ее въ ложу возьмутъ... Вѣдь дастся же такая жизнь людямъ... Но Богъ съ ними! Что́ мнѣ завидовать? Какъ ни тяжела моя жизнь подчасъ, а всеже я не вернусь къ нимъ: здѣсь я свободна, и хоть связана съ магазиномъ, зато никто не укоритъ меня чужимъ хлѣбомъ, и не будетъ поэтому навязывать жениха, какъ сестрѣ. Жалко мнѣ ее бѣдняжку: попадется она, какъ курица во щи. Если ужъ женихъ теперь пьетъ, то впослѣдствіи отъ него нечего ждать хорошаго. Да ея не уговоришь; а еслибы она и согласилась на такую же жизнь, какъ моя, то ей не перенести».

Задумалась она надъ замужней жизнью: показалась она ей непривлекательной; страшно ей показалось, какъ это можно жить такъ, какъ жила Ольга Герасимовна! «Тридцать семь лѣтъ жила замужемъ!».. И она улыбнулась. Но все-таки въ этой замужней жизни она видѣла нѣчто и привлекательное—это дѣти отъ любимаго человѣка. «Вотъ тутъ есть цѣль; тутъ есть для чего жить, тогда, пожалуй, хорошо жить, если мужъ хорошій и любящій человѣкъ». И ей горько стало, что она живетъ только для себя, работаетъ только для того, чтобы заплатить за квартиру, чтобы наѣсться и не ходить босой. «Кому я приношу пользу? Одной Эмиліи Карловнѣ». И ей стало досадно, что ея работой живутъ другіе, а никакъ не она, и она успокоилась только тѣмъ, что не одна она приноситъ пользу хозяевамъ.

Къ Николину дню холодъ сдѣлался сильнѣе, почему Ольга Герасимовна предложила ей носить свое пальто на барашковомъ мѣху. Хотя это пальто и было старомодное, всеже въ немъ было тепло. У Кати тоже появилось пальто на ватѣ, а Глаша попрежнему ходила въ какомъ-то рваномъ шугайчикѣ и постоянно приходила съ побѣлѣвшимъ носомъ, и цѣлый часъ скакала по комнатѣ, чтобы отогрѣть ноги. А такъ какъ Дарья Андреевна была одѣта богаче даже Софьи Васильевны, то зависти швей и конца не было. Когда она явилась въ пальто Ольги Герасимовны, Софья Васильевна язвительно сказала:

— Обновку завели?

— Это мнѣ сосѣдка дала.

— Воображаю, какая у васъ добрая сосѣдка!

— Она—старушка очень почтенная и добрая.

— Да это видно—старушка она или нѣтъ.

— Что вы хотите этимъ сказать?—вспыхнула Дарья Андреевна.

— Сами можете догадаться. Вотъ намъ такъ небось никто пальтовъ не даритъ.

Дарья Андреевна не стала говорить съ ней больше. Немного погодя она услыхала разговоръ Софьи Васильевны съ Эмиліей Карловной, которая была въ магазинѣ. Дверь была не заперта, и въ комнатѣ все было слышно.

— Вы хоть пять рублей мнѣ дайте,—говорила Софья Васильевна.

— Ей-Богу, нѣту. Передъ праздникомъ были, да я за квартиру отдала, Дашѣ дала...

— Она бы и подождала.

— Что же дѣлать, если она больше васъ нуждается.

— Полноте! Постотрите, какое у нея пальто! Если она такія вещи носитъ, то, стало-быть, у ней есть другъ, который помогаетъ ей.

— Ну, я въ эти дѣла не вхожу и не имѣю права входить, а васъ прошу все-таки подождать.

— Въ такомъ случаѣ я уйду отъ васъ.

— Воля ваша, я не задерживаю.

Когда Софья Васильевна пришла въ комнату, Дарья Андреевна и виду не подала, что она слышала ея слова.

Черезъ двое сутокъ послѣ этого былъ морозъ, градусовъ тридцать пять, такъ-что, когда Дарья Андреевна шла въ магазинъ, ей попались навстрѣчу воспитанники, возвращавшіеся домой изъ училища, такъ какъ по случаю мороза въ училище не пускали. Несмотря на теплое пальто, конецъ ея носа побѣлѣлъ, и она нещадно терла его рукавомъ. Въ швейной комнатѣ Глаша и Катя сидѣли на диванѣ и оттирали пальцы ногъ водкой, которую имъ дала хозяйка. Въ комнатѣ было страшно холодно и темно, и такъ какъ дѣвицы, кромѣ Дарьи Андреевны, сидѣли у оконъ, то ихъ въ ихъ легонькихъ платьицахъ пробирало сильно; онѣ ежились, дрожали, стучали зубами, дули въ ладони, чтобы отогрѣть ихъ.

— Эмилія Карловна, холодно!—жаловалась Катя хозяйкѣ.

— Что́ жъ я сдѣлаю, милая, не отъ меня холодъ, отъ Бога. Вѣдь печка топится, можешь погрѣться. А не то сядь къ Дашѣ.

— Да тамъ темно.

— Опять-таки я не виновата. А свѣчки палить съ эдакой поры убыточно.

Булочникъ принесъ булки. Дѣвушки оживились, но булки оказались замерзшія. Сдѣлалось еще холоднѣе.

— Ну, и жизнь эта проклятая! Хорошо теперь барамъ: сидятъ себѣ въ теплыхъ комнатахъ у каминовъ и покуриваютъ сигары,—говорила Катя.

— Что-то у насъ нынче не курятъ папиросъ,—проговорила Софья Васильевна и посмотрѣла на Дарью Андреевну.

Но Катя не поддержала ея.

— Я, право, водку буду пить,—сказала она.

— Фуй, Катя, какія ты вещи говоришь!..

— Ей-Богу! Вотъ у насъ живетъ чиновникъ: онъ на службу ходитъ въ дырявыхъ сапогахъ, фуражка у него рваная,—впрочемъ, я вчера починила ее ему,—пальтишко безъ ваты, что есть, колѣнки не покрываетъ. Такъ онъ утромъ, какъ выпьетъ залпомъ косушку, и идетъ на службу. «Я, говоритъ, такимъ манеромъ нисколько не чувствую холода». Со службы идетъ, выпиваетъ ужъ двѣ косушки.

— Вы, Катя, накиньте на себя мое пальто,—ска-

зала Дарья Андреевна, хотя ей и самой было холодно.

— А-а! Теперь я васъ поймала,—сказала съ восторгомъ Софья Васильевна.

— Въ чемъ?

— А помните, вы говорили, что пальто не ваше.

— Что жъ! Можетъ-быть, я и куплю его... Право, Катя, надѣньте.

— Мерси! Я чужихъ вещей никогда не люблю носить.

Дарья Андреевна замолчала. Хотѣлось ѣсть; но ей хотѣлось угостить дѣвицъ кофеемъ. Она и прежде предлагала имъ этого напитка, но онѣ постоянно отказывались.

— Софья Васильевна, не хотите ли кофе?

— Благодарю-съ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Я попрошу у Эмиліи Карловны чашекъ.

Софья Васильевна промолчала.

Въ это время въ комнату вошла Эмилія Карловна въ лисьемъ салопѣ, покрытомъ чернымъ атласомъ, въ мѣховомъ капорѣ и въ теплыхъ сапогахъ.

— До моего прихода никому не уходить; я приду скоро,—сказала она швеямъ, натягивая пуховыя перчатки.

— Эмилія Карловна, одолжите намъ чайныхъ чашекъ. Мы хотимъ пить кофе, — проговорила Дарья Андреевна.

— Возьмите. А у васъ есть ли сливки и сахаръ?

— Сахаръ есть; мы напьемся безъ сливокъ. Лишь бы тепло было.

— Неужели и вы озябли?

— Немножко.

— Возьмите, только не изломайте, и вымойте почище.

И она ушла.

— Экой салопище-то!—сказала Глаша.

— А брошу я шить! Руки совсѣмъ окоченѣли, ноги такъ и щиплетъ... Проклятая эта жизнь!—сказала Катя и, бросивъ работу, подошла къ печкѣ.

Ея примѣру послѣдовала и Глаша.

Дарья Андреевна черезъ нѣсколько времени сварила кофе, достала чашекъ и пригласила швей.

— Я не люблю этого пойла!—сказала Катя.

— И я тоже,—отозвалась Глаша.

— Я не понимаю, Катя, за что вы на меня сердитесь? Что я такое сдѣлала? Кажется, я васъ ни словомъ ни дѣломъ не обидѣла,—проговорила Дарья Андреевна.

Глаша ткнула въ бокъ Катю.

— Съ чего вы воображаете, что я на васъ сержусь?—спросила обидчиво Катя.

— Да развѣ я не вижу. Это видно и со стороны. Напримѣръ, вы даже не хотите со мною сидѣть, какъ будто я какая-нибудь прокаженная. Повѣрьте, что я ничѣмъ не лучше васъ.

— Вотъ вы даже сейчасъ обидѣли насъ: чѣмъ же мы, напримѣръ, хуже людей?

— Я не говорю, чтобы мы, швеи, были хуже праздныхъ людей. Я только приравниваю себя къ вамъ.

— Ужъ пожалуйста! Намъ нечего приравниваться къ выскочкамъ, заѣдламъ чужого хлѣба. Я ужъ давно говорила вамъ: сидѣли бы вы гдѣ-нибудь въ гостиной и распивали бы тамъ съ барынями кофеи ваши,—запальчиво проговорила Катя.

— Вы меня, Катя, совсѣмъ не понимаете; вы не знаете причинъ, которыя заставили меня бросить праздную жизнь, разсориться съ родными, порвать всѣ отношенія съ сытымъ міромъ, въ которомъ живутъ на счетъ другихъ и на бѣдныхъ смотрятъ, какъ на какихъ-то лишнихъ людей. Я захотѣла рабочей жизни. И знаете, почему я приравняла себя къ вамъ?—а потому, что я хотя получаю и больше васъ, Катя, но переношу лишеній не меньше вашего.

— Это и видно!

— Вы бы посмотрѣли на мою квартиру, не то бы сказали. Хорошо еще, что у меня сосѣдка добрая; не будь ея, или будь на ея мѣстѣ другая съ другимъ характеромъ, изъ чиновницъ, мнѣ было бы плохо. Если я ношу не рваныя платья, лучше вашихъ, то я такія носила и дома и, какъ самыя любимыя, я ихъ взяла съ собой. Не могу же я, въ самомъ дѣлѣ, имѣя порядочныя платья, ходить оборванною въ одной рубахѣ. Это было бы смѣшно. А вотъ бѣда,—и она настанетъ когда-нибудь,—если эти платья износятся: тогда я поневолѣ должна буду ходить въ рубищѣ.

— Ну, вы не будете ходить въ рубищѣ: у васъ родня богатая, выручитъ.

— Плохо вы знаете эту родню. Однако кофе-то простынетъ.

Дарья Андреевна налила въ чашки кофе и пригласила швей. Софья Васильевна и Глаша подсѣли къ столу. Дарья Андреевна достала изъ кармана пальто нѣсколько кусковъ сахару. Катя сидѣла у печки и смотрѣла на потухающіе уголья.

— Катя, что же вы?—спросила Дарья Андреевна Катю, подойдя къ ней.

Катя плакала тихо: лицо ея передергивало, слезы ручьями плыли по ея щекамъ и капали съ подбородка на колѣни. Дарьѣ Андреевнѣ жалко стало ея: при видѣ этой гордой, плачущей дѣвушки, старающейся скрыть отъ другихъ свои слезы, у нея сердце точно повернулось, и едва она сама не заплакала.

Дарья Андреевна поднесла ей чашку, кусокъ булки и сахару.

— Я не хочу,—сказала вполголоса Катя, успѣвшая уже обтереть слезы.

— Ну, полно вамъ церемониться.

Катя нехотя взяла чашку, поставила ее на полъ, достала изъ кармана свою булку и долго не пила кофе. Однако выпила.

— Не хотите ли еще?

— Если есть, давайте. Только вотъ что: я вѣдь васъ не могу тоже съ своей стороны напоить кофеемъ.

— Я не для того и угощаю васъ... Мнѣ одной скучно пить. Вотъ пока у меня онъ есть, будемте пить, а не будетъ—пробьемся и такъ.

— Зачѣмъ же вамъ убытчить себя?—спросила Софья Васильевна.

— Тутъ нѣтъ убытку, если я не хожу домой обѣдать.

Съ этихъ поръ швеи стали ласковѣе съ Дарьей Андреевной, а Катя часто, оставляя на колѣняхъ работу, долго смотрѣла на Дарью Андреевну. Ей какъ будто хотѣлось заговорить съ нею, но она не рѣшалась.

На другой и на третій день послѣ этого швеи не отказывались отъ приглашенія Дарьи Андреевны, и на третій день уже вели дружескую бесѣду.

— Вы давно знакомы съ Телѣжниковой?—спросила Софья Васильевна.

— Я познакомилась съ ней только передъ поступленіемъ въ магазинъ...

— Вы кажется съ ней очень дружны?

— Напротивъ, она, какъ аристократка, кромѣ нѣжностей, ничего мнѣ не оказываетъ. Развѣ вы не замѣтили, что когда она была здѣсь, то прощаясь, чуть-чуть было не поцѣловала меня, ужъ и рожицу было направила, да спохватилась, покраснѣла и убѣжала поскорѣе.

Швеи захохотали.

— А у ней рожица ничего, смазливая. Недаромъ она все гуляла лѣтомъ съ какимъ-то брюнетомъ, — замѣтила Софья Васильевна.

— Впрочемъ, у ней мужъ-то, говорятъ, тоже непромахъ,—прибавила Катя.

— Я его видѣла всего разъ и знаю, что онъ человѣкъ очень скучный.

— Зато она какъ начнетъ звонить, такъ надоѣстъ хуже колокольнаго звона въ пасху,—сказала Катя.

Долго толковали о Телѣжниковой дѣвицы, толковали и о другихъ барыняхъ. Какъ въ Телѣжниковой, такъ и въ другихъ онѣ видѣли пустыхъ людей, которымъ дѣваться некуда со скуки.

На четвертые сутки у Дарьи Андреевны не было ни кофе ни сахару. Ударило двѣнадцать часовъ. Эмилія Карловна пьетъ въ своей комнатѣ кофе. У швей бурлитъ въ желудкахъ: онѣ посматриваютъ на Дарью Андреевну, которая сидѣла уже за однимъ столомъ съ ними. Кухарка вышла отъ Эмиліи Карловны съ посудой и подошла къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Что жъ вы нейдете заваривать кофій?

— Я сегодня не буду,—скромно отвѣтила Дарья Андреевна; щеки ея покраснѣли.

Кухарка ушла.

— Софья Васильевна, хоть бы вы попотчивали,— сказала Катя.

— Вы, Дарья Андреевна, почему нынче не пьете кофій?—спросила Софья Васильевна Дарью Андреевну.

— Нѣту; дома даже нѣту. Сегодня я совсѣмъ не пила дома, потому что моя сосѣдка захворала.

— Еслибы я знала—принесла бы своего. Право, какъ привыкнешь къ чему-нибудь—трудно отстать, —сказала Софья Васильевна.

— А мы попросимъ у хозяйки. Мы ее пристыдимъ: ишь, работаешь, работаешь—нѣтъ, чтобы угостить! —проговорила Катя.

— Я думаю, намъ бы можно чередоваться такъ: эта недѣля мой кофій, другая—Софьи Васильевны, третья — Катерины Сергѣевны...—говорила Дарья Андреевна.

— Хорошо вамъ, если у васъ есть деньги, а я или Глаша—гдѣ мы возьмемъ денегъ на кофій или сахаръ?—сказала Катя.

— А мы сдѣлаемъ лучше такъ: какъ получимъ деньги и отложимъ каждая по копейкѣ съ десяти копеекъ. Если, напримѣръ, я получу два рубля—это составитъ двадцать копеекъ; если вы, Катерина Сергѣевна, получите рубль—составитъ десять копеекъ, —предлагала Дарья Андреевна.

— Значитъ я принесу домой девяносто копеекъ, —возразила Катя.

— Да. Но если вы принесете домой рубль, то вамъ едва ли дадутъ на прихоти десять копеекъ. А такимъ манеромъ если мы всѣ будемъ откладывать по копейкѣ, то у насъ составится порядочное количество денегъ и ихъ хватитъ на то, чтобы цѣлую недѣлю пить кофе со сливками и съ сахаромъ, а пожалуй останется и на булки.

— Я съ этимъ согласна,—отвѣтила Софья Васильевна.

Но Катя и Глаша задумались.

— По копейкѣ много; по половинѣ бы,—сказала Катя.

— Тогда придется пить безъ сливокъ.

— Хорошо вамъ, вы получаете больше моего.

— За то съ меня больше и сойдетъ.

— Нѣтъ, это не резонъ: нужно, чтобы кофій пился поровну, а то еще вы будете думать: вотъ молъ Катька дала десять копеекъ, а пьетъ за двухъ.

Пришла хозяйка.

— О чемъ спорите?—спросила она.

Дарья Андреевна разсказала свой планъ и взглядъ на него Кати.

— Я съ вами согласна. Дѣйствительно, въ это время ѣсть хочется, особенно молодымъ людямъ, какъ вы; ходить же домой неловко. Я бы взялась васъ сама кормить, но, во-первыхъ, вамъ дорога каждая копейка, а мнѣ даромъ кормить резону нѣтъ, во-вторыхъ, вамъ могутъ не понравиться кушанья. Вонъ у Миллеръ нынче дѣвицы живутъ въ ея квартирѣ: онѣ тамъ и спятъ, и ѣдятъ хозяйское, зато ничего отъ нея не получаютъ. Я бы, пожалуй, дозволила вамъ готовить кушанья, но, во-первыхъ, согласится ли кухарка, а, во-вторыхъ, это отниметъ у васъ и у кухарки много времени.

— Мы о пищѣ и не говоримъ: мы покупаемъ булки, а какъ съ булкой напьешься кофею—и сыта до вечера...—сказала Дарья Андреевна.

— Кофе пить я вамъ могу позволить только съ тѣмъ, чтобы вы уже отъ себя платили кухаркѣ за мытье посуды и прочее. Но кто же у васъ будетъ казначеемъ?

Дѣвицы переглянулись.

— Я думаю, Софья Васильевна возьмется за это дѣло,—сказала Дарья Андреевна.

Катя сердито посмотрѣла на Дарью Андреевну.

— Нѣтъ, ужъ вы меня увольте,—сказала Софья Васильевна:—будьте ужъ лучше вы,—прибавила она надменно.

— Кого вы, Катерина Сергѣевна, думаете выбрать? Я думаю, Эмилію Карловну.

— Ну, гдѣ же мнѣ возиться!—отвѣтила та и пошла въ магазинъ.

— Въ самомъ дѣлѣ самое лучшее отдавать деньги Эмиліи Карловнѣ. Пусть она и покупаетъ сама кофе, сахаръ и сливки,— проговорила Дарья Андреевна.

— Ну, эдакъ она нашъ кофе пить станетъ,—возразила Катя.

— Что жъ, пусть ее пьетъ, тогда она коситься на насъ не будетъ, какъ эти дни косилась.

Дѣвицы рѣшили просить объ этомъ Эмилію Карловну. Хозяйка согласилась. Со слѣдующаго дня дѣвицы стали пить свой кофе со сливками.

— А вѣдь недурной кофей сварила кухарка!—замѣтила Катя.

— И притомъ свой: теперь мы всѣ можемъ говорить, что у насъ свой хлѣбъ, а не чужой,—сказала Дарья Андреевна.

Дѣвицы улыбнулись и задумались.

XXIV.

До Рождества оставалась недѣля. Въ домѣ Удинцовыхъ замѣтно готовились къ празднику: изъ комнаты была вытащена вся мебель, сундуки и вещи, и Максимъ Петровичъ, въ рубашкѣ и штанахъ, съ передникомъ, бѣлилъ стѣны и потолокъ. Предлагалъ онъ оклеить комнату Дарьи Андреевны бумагой и потомъ побѣлить, но она отказалась. Татьяна Савельевна стирала бѣлье. Старикъ Удинцовъ рѣдко и на ночь приходилъ домой; онъ для того, чтобы больше наловить къ празднику рыбы, уходилъ дальше. Старуха и Татьяна Савельевна питались или тертой рѣдькой съ квасомъ, или капустой тоже съ квасомъ, въ ожиданіи праздника; въ ожиданіи же праздника супругъ Татьяны Савельевны не пьянствовалъ. Съ шестка кухонной печи не сходили горшки съ кислымъ молокомъ, и на мѣсто прежнихъ, въ которыхъ уже образовывался творогъ, ставились другіе. По вечерамъ теща и сноха сбивали масло. Сапожникъ былъ заваленъ работой и пригласилъ себѣ мальчика въ помощники. Всѣ въ нижнемъ этажѣ были настроены какъ-то грустно, говорили нехотя и какъ-то сердито. Ольга Герасимовна, оправившись послѣ болѣзни, каждый день отпирала свой сундукъ и перебирала въ немъ платья и бѣлье, мурлыча пѣсни духовнаго содержанія. Она только и питалась кофеемъ. Къ послѣдней недѣлѣ она призвала къ себѣ священника и исповѣдавшись пріобщилась Св. Таинъ. Только у Дарьи Андреевны не замѣчалось признаковъ приближенія праздника—у нея все было по старому и она была спокойна тѣмъ, что заплатила за квартиру впередъ за мѣсяцъ; если же у нея дома нѣтъ ни чаю, ни сахару, ни кофе, и если у одного сапога у подошвы появилась дырка, а на платьяхъ тоже замѣтны въ разныхъ мѣстахъ прорѣхи, то она все-таки надѣялась на получку къ празднику рублей около шести, и тогда рѣшила все справить. Но ее безпокоило то, куда дѣвать эти три дня, да и послѣ праздника едва ли будетъ много работы. Хотѣлось ей сходить въ церковь, но у нея не было салопа, и она написала мачехѣ, чтобы та непремѣнно выслала ей салопъ, терново-коричневое платье и нѣсколько штукъ бѣлья; хотѣлось ей и въ театръ сходить и книжекъ почитать; «когда у меня деньги будутъ, ужъ я полтинника не пожалѣю: вѣдь мои деньги. Потомъ опять заработаю», думала она, но больше всего ее безпокоило то: идти или нѣтъ ей къ дядѣ и къ Платоновымъ. Не идти—неловко; надо хоть сестру повидать, посмотрѣть, какъ она живетъ. Платоновы всегда относились къ ней, какъ къ маленькой дѣвочкѣ, баловали ее и могутъ всегда пригодиться, если не для нея, то для сестры и брата, такъ какъ они люди вліятельные и богатые. Старшій сынъ Платонова относился прежде къ Дарьѣ Андреевнѣ свысока, дочь была воспитана на аристократическій манеръ и совѣстилась ея, хотя и не прочь была поиграть съ ней, а младшаго сына Платонова она видѣла рѣдко. «Къ Платоновымъ я не пойду, тамъ мнѣ дѣлать нечего, они—родня дальняя; и если я пойду, то только себя осрамлю: скажутъ, что вамъ угодно? Еще выгонятъ. А къ дядѣ сходить надо. Онъ человѣкъ разсудительный, у него живетъ сестра», рѣшила она. Къ тому же ее интересовало то, какъ смотритъ дядя въ настоящее время на ея ремесло

Въ магазинѣ работы прибавилось; но Катя съ понедѣльника не являлась уже три дня. Машу же Эмилія Карловна домой не отпускала. Дарья Андреевна утромъ зашла къ Катѣ и увидала ее больною тифомъ. Каждое утро послѣ этого Дарья Андреевна заходила къ ней и съ каждымъ днемъ замѣчала, что той становилось хуже и хуже, а присмотра за нею не было никакого: тетка ея суетилась около печи съ хлѣбами, которые она пекла на продажу. Поэтому Дарья Андреевна посовѣтовала ей отправить Катю въ больницу, но тетка не согласилась.

— Вотъ еще! стану я ее развозить! есть у меня на это время!—сказала она съ неудовольствіемъ.

— А если она умретъ?

— Не умретъ: не въ первый разъ.

— Тамъ она скорѣе бы выздоровѣла.

— А я говорю, тамъ она скорѣе умретъ! И прошу меня не учить!—съ сердцемъ сказала Катина тетка.

Такимъ образомъ работы въ магазинѣ стало больше. Эмилія Карловна тоже соболѣзновала о Катѣ, горевала, что, пожалуй, къ сроку не поспѣть, присѣла было сама шить, да спина разболѣлась и бросила. Заставила она шить Машу, сестру Кати, но та только портила. Это только бѣсило хозяйку, и она била дѣвочку и не давала ей ѣсть.

— Вы бы приняли на время какую-нибудь дѣвочку,—сказала однажды хозяйкѣ Софья Васильевна.

— Надо бы, Даша, гдѣ это Матрешка? Вы ее, кажется, часто видаете?

— Она теперь сидитъ дома: ихъ недавно обокрали, такъ-что ей и надѣть нечего; а ея братъ недавно и ботинки отъ нея отобралъ.

— Что жъ она дѣлаетъ дома?

— А прислуживаетъ жильцамъ да бѣлье стираетъ; добрые люди къ ней на домъ приносятъ. Ихній квартирантъ, впрочемъ, даетъ ей валеные сапоги на кожаныхъ подошвахъ, такъ она въ нихъ и ходитъ на

рѣку. Дровъ вотъ только нѣтъ, такъ она ужъ заплотъ принялась рубить...

— Попросите ее, чтобы она пришла сюда. Она хотя и скверно шьетъ, но всеже четвертакъ за штуку пригодится.

— Вы, кажется, прежде ей больше платили? — вступилась за Матрешу Дарья Андреевна.

— То было прежде.

Однако Матреша не пошла къ Эмиліи Карловнѣ.

— Да я на одномъ бѣльѣ больше достану, чѣмъ со штуки: штуку-то я прошью, можетъ, съ перешивками дня два, а теперь мнѣ платятъ за каждую штуку по копейкѣ и по двѣ. Тяжело, да всеже лучше, чѣмъ на одномъ мѣстѣ сидѣть, мерзнуть и слушать выкомуры.

— Ну, коли такъ, наплевать,—сказала Эмилія Карловна, когда Дарья Андреевна передала ей отказъ Матреши.—Пусть-ко она теперь обратится ко мнѣ съ просьбой пустить ее въ магазинъ, я ея и на порогъ не пущу! Дѣлать нечего; управимся какъ-нибудь однѣ. Я думаю устроить такъ, чтобы вы не ходили домой спать: кофій утромъ, полдникъ, обѣдъ и вечеромъ чай будетъ мой. Я съ васъ ничего не возьму, а спать вы можете здѣсь.

Швеи, желая заработать больше денегъ, согласились.

Два дня хозяйка кормила хорошо, но зато и доставалось же имъ. Спали онѣ въ самомъ магазинѣ, куда былъ перенесенъ диванъ, на которомъ спала Софья Васильевна; Дарья же Андреевна и Глаша спали на столѣ, который былъ такъ широкъ, что на немъ могли бы умѣститься трое. Маша спала въ кухнѣ, и тамъ ей было несравненно лучше и теплѣе, чѣмъ въ холодномъ магазинѣ. Хозяйка будила ихъ въ пять часовъ, а въ два часа онѣ ложились спать.

До праздника оставалось два дня; неоконченной работы было много. Въ магазинъ то-и-дѣло приходили то горничныя отъ барынь за вещами, то разные приказчики съ книгами. Выходили сцены. Особенно непріятны были сцены съ приказчиками. Приходитъ одинъ приказчикъ.

— Дома Эмилія Карловна?—спрашиваетъ онъ швей.

— Дома. Она занята,—отвѣчаетъ недовольно Софья Васильевна.

— Онѣ гдѣ, въ магазинѣ?

Изъ комнаты выходитъ Эмилія Карловна, зоветъ приказчика и запираетъ за нимъ дверь; но все-таки оттуда слышится крупный разговоръ. Черезъ нѣсколько минутъ оттуда выходитъ приказчикъ съ раскраснѣвшимся лицомъ, что-то шепчетъ и уходитъ, сильно хлопая дверьми.

— Ахъ ты, Господи, какъ они надоѣли со своими книгами! И добро бы много, а то забрано сахару четыре головы, кофею пятнадцать фунтовъ... И вѣдь сколько присчиталъ? цѣлыхъ пять рублей лишнихъ. Это ужъ по-жидовски!

Входитъ другой приказчикъ безъ книги.

— Наше вамъ почтеніе, Эмилія Карловна. Хозяинъ послалъ... Потому, сами знаете, конецъ года... отчетность... самимъ нужно расплачиваться... мы больше въ кредитъ,—начинаетъ любезно приказчикъ.

И этого она уводитъ и потомъ провожаетъ со словами:

— Не безпокойтесь: такъ и скажите, что...

— Ужъ вы, пожалуйста, припасите къ этому времени, потому, сами знаете, конецъ года: туды, сюды нужно... Сами нуждаемся.

— Ну, ужъ и нуждаетесь?

— А какъ бы вы думали? Вотъ хоть бы, къ примѣру, Телѣжниковой отпущено съ Пасхи разной матеріи на полтораста рублей, а не получено еще ни копеечки.

— Неужели? Да она и мнѣ должна больше пятидесяти... Послушайте: я бы, пожалуй, перевела ея долгъ вамъ.

— Нѣтъ, ужъ вы сами, потому намъ съ ней и такъ непріятно изъ-за бездѣлицы исторіи имѣть.

— А г-жа Миллеръ сколько вамъ должна?

— Много-съ: рублей триста.

— Неужели?!

— Что станешь дѣлать! Прежде платили исправно, вѣрили. А если вотъ ноньче не заплатитъ— будемъ судомъ просить. Такъ уже вы постарайтесь...—и приказчикъ уходитъ.

— Живодеры проклятые! Цѣлый годъ ухаживаютъ за тобой: возьми да возьми то-то, и денегъ не просятъ. Мы, говорятъ, вамъ можемъ и на тысячу повѣрить. А какъ наступитъ Рождество, точно съ ножомъ пристаютъ. Сколько непріятностей однѣхъ наслушаешься! Софья Васильевна, будьте такъ добры, если еще кто-нибудь придетъ, скажите — дома нѣтъ.

— Хорошо.

Хозяйка уходитъ.

— Такъ тебѣ и надо!—говоритъ съ затаенной злобой Софья Васильевна.—Цѣлый годъ блаженствовала, командовала надъ нами, никого знать не хотѣла... А теперь прижала хвостъ-то! Туго стало.

— Неужели она много должна?—спросила Дарья Андреевна.

— Всѣмъ. Она и мясо и свѣчи, все беретъ въ долгъ.

— Куда же она дѣваетъ деньги? Вѣдь за платья, что она шьетъ изъ своего, то-есть, сама покупаетъ матерію, она беретъ рублей по сорока и больше?

— Вѣроятно, копитъ. Она думаетъ такъ съѣхать, а вотъ купцы и не даютъ покою.

— Однако, этакъ вѣрить не станутъ.

— Это еще ничего, что она лавочникамъ не платитъ, а вотъ посмотримъ, какъ-то она насъ разсчитаетъ. Въ прошломъ году она мнѣ не додала къ Новому году цѣлыхъ пять рублей, а я и не знала, какой такой есть праздникъ,—проговорила Софья Васильевна.

— Неужели и теперь придется работать въ праздникъ?—спросила Дарья Андреевна.

— А вы думаете, нѣтъ? Вотъ сами испытаете. Въ праздникъ-то работы больше теперешняго, и работа спѣшная, потому-что шьется къ Новому году.

Положеніе Эмиліи Карловны къ Рождеству и къ Новому году становилось дѣйствительно затруднительно. Дѣло заключалось въ томъ, что давальщицы или заказчицы были ея старинныя знакомыя;

сравнительно съ другими швейными магазинами она брала за работу дешевле, даже въ томъ случаѣ, если заказывали ей шить изъ ея матеріи или поручали ей самой покупать матерію. И случалось довольно часто, что заказчицы, получивъ вещь, или вовсе не платили денегъ, или платили, но часть, ссылаясь на то, что мужья скоро получатъ большія награды и т. п. Еслибы Эмилія Карловна не стала отдавать этимъ барынямъ сшитыя имъ вещи, то она не получала бы ничего, и вещь висѣла бы въ магазинѣ цѣлый годъ, потому-что не было случая, чтобы кто-нибудь купилъ висящую въ магазинѣ вещь, такъ-что дорогую вещь приходилось отдавать торговкѣ для продажи на толкучкѣ чуть не за половинную цѣну стоимости. Если же бы она не бралась шить на такую барыню въ другой разъ, барыня съ этихъ поръ стала бы заказывать въ другія мѣста и, конечно, уже не заплатила бы долга. А такъ-какъ у нея зачастую вырученныхъ отъ магазина денегъ было мало, потому-что она платила изъ нихъ за квартиру и швеямъ, то она и забирала у разныхъ купцовъ въ долгъ все, что требовалось для шитья, брала также и сахаръ и т. п. Купцы ее тревожили цѣлый годъ, но въ теченіе года накапливалось долговъ, разумѣется, съ большими процентами порядочное количество, а такъ-какъ заказчицы съ каждымъ годомъ становились менѣе аккуратны насчетъ платежа, а нѣкоторыя даже уѣзжали въ другіе города, выдавъ ей росписки, то долгъ купцамъ возросталъ и въ этомъ году достигъ уже порядочной цифры. Мужъ ея, хотя и получалъ большое жалованье, но приносилъ домой мало, потому-что у него были тоже свои долги въ трактирахъ, и онъ любилъ играть въ карты, въ которыя большею частью проигрывалъ. Сынъ тоже платилъ только за пищу восемь рублей въ мѣсяцъ, и у него трудно было матери выклянчить нѣсколько рублей, потому-что и онъ, любя развлеченія, какъ молодой чиновникъ, постоянно забиралъ жалованье впередъ.

Поэтому Эмилія Карловна въ эти дни была въ дурномъ настроеніи: она ходила молча съ серьезно-строгимъ лицомъ, перебирала вещи въ магазинѣ, торопила швей, ругала по-нѣмецки свою жизнь, купцовъ и заказчицъ, безжалостно теребила за волосы и ставила на колѣни несчастную Машу, два раза ударила по щекамъ Глашу за то, что та на замѣчаніе ея осмѣлилась возражать, обругала Софью Васильевну и Дарью Андреевну, обозвала всѣхъ обжорами и негодяйками, но изъ всего этого выходила только кутерьма. А купцы, какъ нарочно, подсылали къ ней во второй и въ третій разъ своихъ приказчиковъ; заказчицы-барыни точно на зло торопили свои платья, и ежели пріѣзжали сами, то примѣривали, изъявляли свое неудовольствіе, требовали другого фасона,—что до слезъ злило до сихъ поръ хладнокровную Эмилію Карловну.

За три дня до Рождества пришла въ швейную утромъ пожилая женщина въ люстриновомъ на ватѣ салопчикѣ. Это была одна изъ торговокъ на толкучкѣ, пользующаяся особымъ довѣріемъ г-жи Петерсонъ.

— Ахъ, какъ я рада видѣть тебя, Настасья Ларіоновна!—и она увела ее въ свою комнату и позвала Машу.

Маша вышла изъ комнаты, побрякивая деньгами.

— За водкой посылаетъ,—сказала она мимоходомъ.

— Странная женщина эта хозяйка! Она какъ будто совсѣмъ не стыдится насъ: то жалуется, что ее купцы одолѣли, то явно высказываетъ свои плохія дѣла по магазину, то посылаетъ за водкой избитую дѣвушку,—удивлялась Дарья Андреевна.

Маша пришла навеселѣ. Вернувшись отъ хозяйки, она стала насвистывать; Дарью Андреевну точно холодомъ обдало.

— Ахъ, Машка, Машка! Какъ тебя не бить послѣ этого?—сказала Софья Васильевна.

— Пусть-ко сунется,—я и сама сдачи дамъ.—И она выругалась.

— Смотри, Машка, Эмилія Карловна догадается. Ея не проведешь!... Что тогда съ тобой будетъ? Вѣдь не въ первый разъ тебя бьетъ хозяйка за пьянство. И какъ не стыдно: такая маленькая, а пьетъ водку,—говорила съ участіемъ Софья Васильевна.

— А вамъ-то что за дѣло? Вотъ еще! Денегъ не даютъ, домой не пускаютъ... Сестрица ты моя!..

И она заплакала.

Швеи замолчали.

— Уйди хоть, пожалуйста, въ кухню.

Маша рыдала.

Немного погодя, хозяйка стала провожать гостью, у которой—вѣроятно отъ водки,—щеки покрылись красными пятнами. Въ лѣвой рукѣ она держала большой узелъ. Эмилія Карловна была тоже веселая. Маша, незамѣтно для хозяйки, улизнула въ сѣни.

Проводивши гостью, Эмилія Карловна сказала швеямъ, что онѣ могутъ обѣдать хоть сейчасъ, а она до прихода сына сходитъ кое-куда. Черезъ полчаса она ушла въ пальто на бѣличьемъ мѣху. Это изумило Дарью Андреевну; Глаша смотрѣла какъ-то дико то на Дарью Андреевну, то на Софью Васильевну, но послѣдняя ядовито улыбалась.

— Сегодня, кажется, не особенно тепло,—замѣтила Дарья Андреевна.

— Дойдетъ и до того, что въ лѣтнемъ пальто станетъ щеголять на праздникѣ. Хороша хозяйка моднаго магазина!—смѣялась Софья Васильевна.

— Неужели она салопъ стала продавать?

— Ну, она его не продастъ, а заложитъ. Рублей пятьдесятъ дадутъ... Видите, какъ ей жутко!

— Я боюсь, дастъ ли она намъ денегъ на праздникъ.

— А если не дастъ?

— Ужъ тогда я не знаю, что со мной будетъ!

— Тогда мы перейдемъ въ другой магазинъ... Впрочемъ, она дастъ, только нужно дѣйствовать заодно. Вы согласны?

— Мнѣ все равно, только неужели дойдетъ до этого?

— Мало вы ее знаете, а я ужъ съ ней хоровожусь не одинъ, не два года. Я вѣдь не у нея одной работала; знаю ихніе нравы. Если она не будетъ давать денегъ, мы скажемъ, что сейчасъ же бросаемъ рабо-

ту и идемъ на другое мѣсто. Она и струситъ. Она будетъ упрашивать, умаливать, плакать начнетъ.

— Можетъ-быть, и безъ этого обойдется...

— Ну, я такъ и думала, что вы себѣ на умѣ. Только я васъ предупреждаю: она васъ такъ умаслитъ, что вы, пожалуй, и согласитесь остаться у нея. Впрочемъ, вѣдь вы на мое мѣсто разсчитываете.

— Нисколько я не разсчитываю, а если дѣло дойдетъ, въ самомъ дѣлѣ, до того, что она не станетъ платить денегъ, я, пожалуй, съ вами буду заодно, хотя этого и не одобряю на томъ основаніи, что послѣ она насъ будетъ притѣснять.

— А по-вашему лучше сидѣть безъ денегъ въ праздникъ?

Дарья Андреевна согласилась съ Софьей Васильевной; Глаша была давно на все готова.

Швеи обѣдали въ кухнѣ, потому-что Эмилія Карловна не удостоивала приглашать ихъ обѣдать съ своимъ семействомъ; въ швейной же она обѣдать не дозволяла на томъ основаніи, что онѣ могли запачкать тотъ столъ, на которомъ шьютъ и гладятъ. Имъ, впрочемъ, самимъ было пріятнѣе обѣдать въ кухнѣ, потому-что тамъ за ними не слѣдилъ глазъ хозяйки, и хотя изъ кухни былъ прямой ходъ къ Эмиліи Карловнѣ, но она сама рѣдко ходила туда; кромѣ этого, онѣ могли съѣсть лишній кусокъ хлѣба. Обыкновенно швеи обѣдали послѣ хозяевъ, и имъ доставалось на каждую по немногу изъ двухъ кушаньевъ. Сегодня же имъ досталось больше. Но экономная нѣмка, подъ предлогомъ постныхъ дней и приближающаго разговѣнья, не особенно-то баловала ихъ: такъ, сегодня обѣдъ состоялъ изъ овсянки, въ которую было положено нѣсколько картофелинъ, и изъ жаренаго картофеля на постномъ маслѣ. Овсянка оказалась невкусная, картофель— черезчуръ зажаренъ. Ни той, ни другого Софья Васильевна не стала ѣсть.

— Что же вы?

— Не могу я этого свиного пойла хлебать! А картофель — какъ уголь. Хоть бы ты, Настасья, пожалѣла насъ, — проговорила Софья Васильевна, обращаясь къ кухаркѣ.

— Я не виновата. Велѣла овсянку — я и сварила, а картофель потому запалился, что я бѣгала въ лавочку. Не хочешь ли жаренаго гороху?

— Сама ѣшь!

— А то у меня есть пареная рѣпа.

— Еще лучше! Какъ вы не издохнете съ хозяйкой съ вашими рѣпами да горохами!

— Что станешь дѣлать — на то постъ. А вонъ у хозяйки-то особливое кушанье: борщъ да почки. Велѣла еще сырники сдѣлать. Хочешь борщу?

— Не могу; постъ.

Только-что стали онѣ выходить изъ-за стола, въ кухню вошла Марья Андреевна въ лисьемъ салопѣ съ муфтой, въ тепломъ капорѣ. Въ кухнѣ было не совсѣмъ свѣтло и чадно, потому-что кухарка жарила кофе.

— Кого вамъ?—спросила кухарка Марью Андреевну.

— Мнѣ— сестру...

Дарья Андреевна подошла къ ней и поздоровавшись отрекомендовала своимъ подругамъ.

— Какими это ты судьбами попала сюда?— спросила ее Дарья Андреевна.

— Да такъ.

— Не хочешь ли попробовать нашего кушанья: у насъ овсянка.

— Фуй! гадость какая! Да я только-что отъ кофею. Была у Платоновыхъ. Какой душка этотъ Семенъ Елизарычъ: онъ мнѣ подарилъ такой отличной бумаги на письмо, что чудо!

Дарья Андреевна ввела ее въ швейную и усадила рядомъ съ собой на табуретку.

— Ну, что Платоновы?

— Недовольны тобой. Мы, говоритъ самъ, могли бы тебя пристроить получше. Звали тебя на праздникъ. Любочка кланяется, Семенъ Елизарычъ тоже. Какой, право, славный мужчина этотъ Сеничка: высокій, красивый, въ очкахъ. И все сидитъ надъ книгами. Книгъ у него множество. И все какія-то мудреныя. Я было взяла одну, стала читать—ничего не поняла. Одно нехорошо—скоромное ѣстъ... Это кому ты такое славное платье шьешь?

— Не знаю: хозяйка дала.

— Ужъ не губернаторшѣ ли?

— А можетъ быть.

— И много получишь? рублей десять... больше?

— Ну, какъ ты поживаешь?—спросила сестру Дарья Андреевна, не отвѣчая на ея вопросъ.

— Ничего. Тетенька только замучила: то ей почини, другое распори, чулки заштопай; смучилась! Это бы еще ничего: это легко. А то велитъ гладить. Вчера я юбку подпалила нечаянно,—Господи, сколько было крику. Она нынче часто на меня кричитъ.

— Ужъ недолго вѣдь: скоро замужъ выйдешь.

Марья Андреевна вздохнула.

— Знаешь, сестрица, боюсь я идти замужъ.

— Отчего?

— И сама не знаю: страшно. Говорятъ, онъ попиваетъ и пьяный буянитъ. Все Кузьма стращаетъ меня. Я думаю, что Кузьма это дѣлаетъ не отъ чистаго сердца: онъ злой.

— Ну, это тебѣ такъ кажется.

— Нѣтъ, онъ злой! Помнишь, какъ онъ мачеху-то приперъ послѣ отцовскихъ похоронъ?.. Дяденька говоритъ, что онъ и на службѣ ведетъ себя, какъ забіяка. И въ кого это онъ уродился такой? всѣ у насъ ровно смирные...

Сестры замолчали. Говорить, казалось, было не о чемъ.

— Тебѣ давно прислали салопъ?—спросила сестру Дарья Андреевна.

— А исправникъ пріѣхалъ, такъ онъ привезъ. А тебѣ онъ не привезъ салопа?

— Нѣтъ.

— Эдакой негодяй!

Опять замолчали. Марья Андреевна стала больше повертываться на табуретѣ, лицо ея горѣло, она часто раскрывала губы, но не могла рѣшиться выговорить.

— Даша!—начала она:—у меня къ тебѣ есть просьба.

— Какая?

*

— Не сошьешь ли ты мнѣ платье новомодное?

— Теперь некогда; работы у насъ очень много. Вотъ развѣ на праздникахъ.

— Разумѣется, не теперь... А дяденька подарилъ мнѣ голубого атласу на платье. Тетенька было хотѣла тебя позвать къ себѣ, чтобы ты у нея въ домѣ сшила мнѣ платье, да дяденька отсовѣтовалъ: ея, говоритъ, не отпустятъ на домъ.

— Это правда. Я рада, что они предлагаютъ мнѣ работу и въ моемъ занятіи, какъ кажется, не видятъ ничего дурного..

— Нынче они ужъ не сердятся; дядя даже жалѣетъ, что ты не мужской портной: я бы, говоритъ, тогда велѣлъ Дарьѣ сшить мнѣ форменный вицмундиръ. Такъ ты согласна?

— Будь спокойна, сошью. Какъ только будетъ время, такъ я зайду къ тебѣ.

— Нѣтъ, ты приходи въ первый день: нельзя не поздравить ихъ съ праздникомъ.

— Приду.

Сестры разстались. Хотя онѣ и говорили большею частію шопотомъ или вполголоса, но Глаша разслышала просьбу Марьи Андреевны и сообщила объ этомъ Софьѣ Васильевнѣ.

— Ваша сестрица, кажется, платье хочетъ шить? — спросила Дарью Андреевну Софья Васильевна.

— Да, она проситъ меня сшить. Надо будетъ помочь ей.

— Эдакъ у васъ заказовъ отъ вашей родни много можетъ быть. Тогда вамъ и въ магазинѣ не для чего работать. Они вѣдь, эти богачи, помногу платятъ. Я какъ-то шила у одной барыни, такъ провозилась съ однимъ платьемъ цѣлыя четверо сутокъ, тогда какъ здѣсь я бы сшила его въ двое сутокъ. И во все это время я пила и ѣла вволю; а потомъ и денегъ отвалили безъ задержки.

— На родныхъ работать невыгодно, Софья Васильевна, потому-что отъ нихъ денегъ не получишь.

— Разсказывайте: родные-то еще больше дадутъ.

— Не думаю.

XXV.

Къ сочельнику были готовы три платья. Хозяйка встала рано и, какъ только разсвѣло, взяла съ собой Машу и пошла на рынокъ. Пришла она въ часовъ десять, тотчасъ же послала Софью Васильевну съ платьемъ къ женѣ одного изъ предсѣдателей, поручивъ ей получить и деньги и наказавъ прійти какъ можно поскорѣе. Со всѣми швеями она была очень любезна.

— А вы насъ отпустите сегодня домой? — спросила хозяйку Дарья Андреевна.

— Да вамъ что дѣлать дома?

— Надо хоть показаться: вотъ я, напримѣръ, четверо сутокъ не была дома.

— Въ банѣ вымыться надо, — прибавила Глаша.

— Ты всегда черна, хоть и часто ходишь въ маскарадъ. Не знаю, какъ сдѣлать лучше: осталось еще два платья, вамъ, пожалуй, придется ночь просидѣть.

— Ничего, мы просидимъ.

— Пожалуй, я васъ отпущу ненадолго. Только я бы не совѣтовала вамъ ходить въ маскарадъ: еще простудитесь.

— Ну, это ужъ дѣло наше, — сказала Дарья Андреевна.

Эмилія Карловна сурово взглянула на Дарью Андреевну, открыла ротъ, чтобы что-то сказать, но ушла въ комнату. А Дарья Андреевна, какъ и подруги ея, весьма измучилась въ эти сутки. Спать ей приходилось ночью три часа; отдыхала она только во время шитья и ѣды; у нея болѣла спина, болѣли глаза, болѣли руки и пальцы, болѣла голова, въ которой какъ-будто камень какой сидѣлъ. Мысли путались и вертѣлись на получкѣ денегъ и на томъ, что изъ этихъ денегъ можно было сдѣлать. Часто, очень часто думалось ей о прежнемъ житьѣ въ родительскомъ домѣ. Тамъ праздникъ встрѣчали замѣтно: всѣ суетились, какъ-будто дожидались важнаго гостя; она шила себѣ платье и была въ восторгѣ; ѣсть имъ до вечерней звѣзды ничего не давали, и съ какимъ онѣ восторгомъ привѣтствовали эту звѣзду и, ложась спать, думали, какъ на нихъ завтра будутъ заглядываться дочери исправника, такъ какъ у нихъ новыя платья; думали объ розговѣньи — о сливкахъ съ чаемъ, рыбномъ пирогѣ, супѣ и соусѣ, жаркомъ изъ индѣйки и пирожномъ, какъ онѣ проведутъ хорошо время послѣ обѣда, катаясь по городскимъ улицамъ, а вечеромъ родитель будетъ угощать орѣхами и другими сластями. Никакой тогда не было заботы; напротивъ, объ нихъ заботились и старались о томъ, чтобы имъ было хорошо и весело. А теперь не то: теперь только одна забота — получить деньги и отдохнуть отъ работы; теперь не только что-нибудь на себя сшить невозможно, но нѣтъ ни времени ни денегъ на то, чтобы купить что-нибудь для себя, теперь даже и располагать собой нельзя. Праздникъ замѣтенъ только изъ того, что онѣ, швеи, торопятся шить на богатыхъ барынь и барышень платья и встрѣтятъ праздникъ, можетъ-быть, сидя за работой. «Да! тяжело достается свой хлѣбъ!» — думала Дарья Андреевна, и ей сдѣлалось досадно, что чиновники, работая въ своихъ присутственныхъ мѣстахъ гораздо менѣе швей, получаютъ жалованья больше, больше имѣютъ свободнаго времени, и если не всѣ три дня праздника, то по крайней мѣрѣ первый день проводятъ съ своими семействами весело. «Чѣмъ мы-то хуже ихъ? Вѣдь они получили образованіе не Богъ-знаетъ какое — иной и въ ѣздномъ училищѣ не доучился... Должно-быть, нашему брату, бѣднымъ женщинамъ, вездѣ плохо. Намъ только съ деньгами и можно жить: будь у меня деньги, я бы сама или свой магазинъ завела, или стала бы торговать. Ужъ я бы не стала такъ обижать швей, какъ Эмилія Карловна, не стала бы важничать»... Но сколько ни думала Дарья Андреевна, сколько ни старалась успокоить себя мечтами о хорошей жизни никому неподчиненной женщины, а дѣйствительность была на лицо.

Часа въ два Эмилія Карловна вернулась домой и принесла съ собой свертокъ съ шелковой матеріей, уже скроенной. Она позвала Дарью Андреевну въ магазинъ.

— Вотъ одна барыня дала опять матеріи. Тутъ

скроено два платья двумъ ея дочерямъ. Сшить нужно непремѣнно къ третьему дню праздника: въ клубѣ будетъ балъ; дожидаютъ какого-то важнаго человѣка, такъ не хотятъ ударить лицомъ въ грязь. Я обѣщала.

— Но успѣемъ ли мы? У насъ и такъ много работы,—отвѣтила Дарья Андреевна.

— Ужъ какъ-нибудь понатужьтесь. Я вамъ дамъ одно платье и заплачу два съ полтиной. Согласны?

— Согласна, только успѣю ли къ сроку?

— Успѣете! Ужъ эти праздники! Такъ они мнѣ приходятся солоно, просто убѣжала бы куда-нубудь. Я очень хорошо понимаю, что вамъ тяжело, но что же дѣлать? Что же дѣлать, Дарья Андреевна! Деньги сами не родятся въ карманѣ, надо ихъ достать, походить за ними, какъ я хожу. Еще слава Богу, что работа есть, а вотъ мнѣ въ дѣвицахъ часто приходилось по недѣлѣ рыскать изъ магазина въ магазинъ, чтобы хоть что-нибудь достать, чтобы заработать на хлѣбъ и не помереть съ голоду. Это еще слава Богу. Вы, кажется, давеча домой просились?

— Если работы такъ много, то я могу и остаться.

— Это дѣло ваше. Только я вамъ говорю, какъ опытная женщина, что если вы уйдете на праздникъ домой, то вы денегъ не заработаете. А я думаю, что лучше имѣть деньги, чѣмъ бродить наряженной и дуть въ кулакъ.

— Я и не настаиваю. Мнѣ только хочется сходить въ баню и сказать дома, чтобы меня не ждали на праздникѣ.

— Ступайте, а къ вечеру приходите непремѣнно.

— Не дадите ли вы мнѣ сколько-нибудь денегъ?

Эмилія Карловна достала книжку.

— Вамъ приходится получить пять р. сорокъ коп.

— По-моему, кажется, больше.

— Я записываю вѣрно, Дарья Андреевна. Это, можетъ-быть, васъ смущаетъ Софья Васильевна. Она постоянно смущаетъ дѣвицъ и затѣваетъ противъ меня бунты. И если вы будете ее слушать—это не хорошо. У меня вѣдь характеръ крутой: ни за что откажу отъ мѣста. Я ужъ знаю, что вы затѣяли противъ меня бунтъ. — И она стала смотрѣть на Дарью Андреевну, ехидно улыбаясь.

Щеки Дарьи Андреевны покраснѣли. «Какъ она могла узнать?»—думала она. «А, это Маша сказала», рѣшила она, потому-что насплетничать было болѣе некому, тѣмъ болѣе, что Маша ходила съ хозяйкой на рынокъ, и хозяйка купила ей ботинки и ситцевый платокъ.

— Но я не думаю, чтобы вы поддались вліянію Софьи Васильевны. Она мнѣ сидитъ вотъ гдѣ! (и хозяйка указала на шею). Вамъ по разсчету приходится получить ровно шесть рублей. Но такъ-какъ у васъ существуетъ касса на питье кофею, то я съ васъ вычитаю шесть гривенъ.

— Но, Эмилія Карловна, я думаю, кофею на всѣхъ вышло не больше шести гривенъ?

— Да, не больше. Но вы ужъ сами разсчитывайтесь съ ними, потому-что мнѣ, право, некогда возиться съ этими мелочными разсчетами. Вотъ вамъ пять рублей, а остальные я прошу подождать.

Вышедши на улицу, Дарья Андреевна вздохнула свободнѣе. Она теперь считала себя богачкой и весело шла домой; только ей не нравилось то, что хозяйка обидѣла ее насчетъ кассы: «эдакъ я должна, пожалуй, поить швей, потому-что съ нихъ мнѣ неловко требовать деньги. Надо узнать, какъ она ихъ разсчитаетъ»... По улицамъ народъ ѣдетъ и идетъ или веселый, или чѣмъ-то озабоченный; ѣдущіе везутъ кульки, узелки, свертки; идущіе несутъ кто поросенка, кто гуся, а кто и съ фунтикъ мяса или небольшой мѣшочекъ съ чѣмъ-то. Изъ барскихъ дворовъ пахнетъ жаренымъ гусемъ; кабаки биткомъ набиты разнымъ народомъ; изъ дверей идетъ паръ, слышится говоръ, крики и пѣсни; выходятъ одни съ боченками, другіе съ бутылями, а третьи сильно навеселѣ, что-то придерживая за полой подъ мышкой. Въ магазинахъ тоже много народу. Такъ и кажется, что сегодня какъ будто всѣ разбогатѣли.

«Чего бы мнѣ купить?» пришло въ голову Дарьѣ Андреевнѣ. «Вѣдь у меня есть пять рублей». Но ей жалко было тратить деньги; не хотѣлось и мѣнять бумажку. Какъ размѣняешь—не увидишь, какъ мелкія будутъ исчезать. Но попался ей на пути чайный магазинъ, не утерпѣла она, зашла въ него и взяла по фунту сахару, кофе и цикорія и осьмушку чая. Поровнялась съ табачной лавкой—купила табаку и гильзъ; въ булочной купила сайку, и у нея образовалась порядочная ноша.

Зашла она въ домъ Кати. Квартира тетки заперта. У жильцовъ встрѣтила только дѣвочку и отъ нея узнала, что Катя со вчерашняго дня не встаетъ съ постели и ничего не говоритъ, а только смотритъ въ потолокъ, и что тетка ея еще утромъ ушла на рынокъ и къ вечеру должна прійти, такъ-какъ они, жильцы, топили баню.

У Удинцовыхъ было свѣтло отъ выбѣленной комнаты и вымытыхъ половъ. Въ кухнѣ даже стѣны, двери и окна были вымыты и печь побѣлена; тутъ же на столѣ красовался гусь и поросенокъ, а въ большой лохани полоскались двѣ большихъ стерляди; Ольга Герасимовна кряхтя мыла полъ въ своей комнатѣ.

— А я думала, что ты, мать моя, ужъ померла! Ну, виданное ли это дѣло—не приходить четверы сутки. Нехорошо, нехорошо!

Дарья Андреевна разсказала причину и сказала, что она и въ Рождество едва ли будетъ дома.

— Я это предвидѣла. Оно хотя и грѣхъ, но Богъ труды любитъ... Потерпишь эдакъ съ годокъ да наживешь деньги, сама, можетъ, хозяйкой сдѣлаешься. Да вѣдь и то надо сказать, не всегда у твоей мадамы такъ много шитья, а у Бога праздниковъ много.

Дарья Андреевна помогла ей вымыть полъ, вымыла у себя, обтерла дверь, хотѣла обтереть стекла въ окнѣ, но они попрежнему были затянуты куржакомъ. Послѣ бани она такъ чувствовала себя истомленной, что легла на кровать и заснула; но ее разбудила Ольга Герасимовна, стоявшая около нея со свѣчкой. Дарья Андреевна испугалась.

— Который часъ?—спросила она.

— Должно быть девятый, потому у архіерея въ крестовой давно ужъ отзвонили. Не хочешь ли кофею?

— Нѣтъ. Надо идти скорѣе.—И она встала.—А

какъ я заснула отлично... Право, такъ бы и спала, такъ бы и спала...

— Что же дѣлать! Твоя охота работать изъ-за хлѣба на чужихъ людей. А пальто я тебѣ не дамъ; завтра пойду въ церковь. Не въ пору ли тебѣ будетъ мужнина шуба? Теперь ночь.

— Нѣтъ, благодарю. Сегодня не холодно.

— Да, не холодно, когда ты спала; а вонъ я вышла во дворъ,—такъ и щиплетъ: рождественскіе морозы злые.

Шуба оказалась велика. Поэтому Ольга Герасимовна дала ей надѣть лѣтнее на ватѣ пальто.

Ночь была лунная, свѣтлая. Вѣтру не было, но морозъ крѣпчалъ; снѣгъ подъ ногами хрустѣлъ, полозья дровней, на которыхъ везли дрова съ Волги, отъ снѣгу скрипѣли; Дарья Андреевна шла скоро, но отъ холоду у нея захватывало духъ. Подъ горой уже всѣ спятъ, только въ единственномъ въ этой мѣстности кабакѣ слышатся пѣсни. Идетъ Дарья Андреевна, кажется, скоро, а подъема на гору не видитъ; щеки саднитъ, носъ щиплетъ, пальцы у ногъ точно одеревенѣли... «Ну, и жизнь»...ворчала Дарья Андреевна. «Пойду я лучше домой да спать лягу! Что я въ самомъ дѣлѣ за батрачка?» Она остановилась. Ей вдругъ представилось, что она безъ мѣста, денегъ у нея нѣтъ, ѣсть нечего, ея никуда не принимаютъ... «Нѣтъ, пойду на работу. Теперь у Ольги Герасимовны на сбереженіи лежитъ моихъ три рубля, да съ собой есть пятьдесятъ коп., да я еще получу». И она бодро поднялась на гору и храбро боролась съ холодомъ, допекавшимъ ея ноги, которыя она всячески старалась согрѣть, не жалѣя сапогъ.

Когда она пришла въ магазинъ, тамъ дѣвицы были въ сборѣ. Монотонно, страшно скучно тянулось время. Всѣ молчали; только и слышалось шуршаніе шелковой матеріи, тиканье часовъ, хрипъ изъ хозяйской комнаты и позѣвота швей, которымъ страшно хотѣлось спать, и если которая-нибудь изъ нихъ что-нибудь произносила, то охрипшимъ голосомъ. Нѣсколько разъ онѣ клали свою работу на столъ, вставали, выпрямляли свои члены и опять садились, но пальцы дѣйствовали вяло. Маша и Глаша не могли одолѣть сна: онѣ какъ сидѣли, такъ и заснули съ работою на колѣняхъ. Изрѣдка онѣ вздрагивали, часто губы ихъ передергивало; часто онѣ открывали глаза, принимались за работу, но засыпали снова. Наконецъ, обѣ онѣ положили головы на столъ. Дарья Андреевна и Софья Васильевна бодрствовали.

— Вы получили деньги?—спросила Софья Васильева Дарью Андреевну.

— Да. А вы?

— Мнѣ обѣщали отдать завтра... Представьте, какую она мнѣ сцену сдѣлала сегодня: вы, говоритъ, бунтуете швей. Я думаю, что Машка передала ей нашъ разговоръ.

— Я тоже думаю; но надо ее простить: она дѣвушка бѣдная.

— Если мы эдакъ будемъ прощать, то отъ нея житья не будетъ.

— Мы ее какъ-нибудь убѣдимъ, что сплетничать нехорошо. Она еще мала, ее надо поддержать, потому что на Катю ей, пожалуй, нечего разсчитывать: она, говорятъ, больно плоха.

— Неужели?

Дарья Андреевна передала слова дѣвочки.

— Бѣдная дѣвушка!..—проговорила Софья Васильевна и замолчала.

— А какъ спать хочется!—проговорила она наконецъ.

— Да.

— Вздремнемте, какъ онѣ,—и она указала на дѣвочекъ.

— Нѣтъ, ужъ лучше не дремать; какъ заснешь на пять минутъ—цѣлый день завтра зѣвать будешь.

Софья Васильевна стала слегка клевать носомъ, потомъ у нея изъ рукъ стала выпадать работа, наконецъ, голова ея склонилась, и она заснула.

Дарья Андреевна закурила папироску и нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ.

Зазвонили къ заутрени. Софья Васильевна очнулась.

— Неужели я спала?

— Да, и съ часъ спали. Было три часа тогда, а теперь четыре.

— А вы не спали?

— Съ полчасика и я вздремнула,—соврала Дарья Андреевна.

Глашу и Машу едва-едва разбудили.

Эмилія Карловна вышла изъ своей комнаты въ ночномъ одѣяніи, накинувши на плечи одѣяло.

— Много еще шить?

— Нѣтъ, немного,—отвѣтила Софья Васильевна.

— Уй, сколько сгорѣло. Эдакъ до утра недостанетъ!—проговорила она, смотря на огарки сальныхъ свѣчъ, догорявшихъ въ подсвѣчникахъ.

— Еще бы—мы и глазъ не смыкали.

— Ну, вы подите засните часикъ, я васъ разбужу,—сжалилась надъ швеями хозяйка.

Швеи этому очень обрадовались.

Эмилія Карловна разбудила швей, какъ только начало свѣтать. На одномъ изъ столовъ въ швейной уже стоялъ кофейникъ Дарьи Андреевны, чашки, сахарница, большой молочникъ и по булкѣ на каждую швею. Умывшись въ кухнѣ, швеи поздравили хозяйку съ праздникомъ. Хозяйка улыбалась.

— Въ нашемъ ремеслѣ праздники знаешь только по звону. А дѣлать нечего. Кушайте поскорѣе кофей да кончайте посредницѣ Емельяновой платье. Она ужъ посылала за нимъ свою горничную. Обѣдать сегодня вы будете тоже у меня. Вечеромъ, можетъ-быть, я васъ отпущу.

Стали опять шить дѣвицы; зазвонили къ обѣднѣ.

— Швеи да портные, я думаю, самые несчастные люди въ свѣтѣ,—начала Софья Васильевна.—Чиновникъ, плотникъ, каменщикъ теперь ни за что не станутъ работать,—всѣ они теперь идутъ въ церковь.

— Я думаю, что ужъ такова наша доля, Софья Васильевна. Вы возьмите какую угодно женщину—все одно. Напримѣръ, я знаю, у Платоновыхъ есть гувернантка, такъ ей еще хуже нашего достается: дѣтей двое, они еще маленькія, капризныя, избало-

ванныя. Много нужно терпѣнія и умѣнія, чтобы справиться съ ними, угодить имъ и родителямъ, которые, кромѣ внѣшней опрятности, требуютъ еще, чтобы дѣти держали себя хорошо, не баловали.

— Зато она не знаетъ нужды.

— Да Богъ съ нею! тутъ измучишься совсѣмъ, потому-что каждый день нужно придумывать средства, чтобы отучить дѣтей отъ дурного, и при этомъ дѣйствовать такъ, чтобы и дѣти ее любили, и родители видѣли въ ней хорошую воспитательницу и оказывали уваженіе. Одинъ родительскій надзоръ надъ гувернанткой, которую считаютъ наемницей, наводитъ на многія мысли, такъ-что особенно завидовать жизни гувернантки и нечего. Возьмемъ теперь кухарку. Она хотя и не сидитъ, какъ мы, на одномъ мѣстѣ, и работы у нея, кажется, не очень-то много, но какъ говорится: дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай, такъ и она цѣлыя сутки должна торчать на глазахъ хозяевъ. Мы, сравнительно съ кухарками, еще барыни, потому что можемъ уходить домой, спать дома ночь. А она и этого сдѣлать не можетъ. И сколько она въ день непріятностей получитъ отъ хозяйки!

— Дура она, что не уйдетъ.

— Куда же она пойдетъ, если вездѣ хозяева одинаковы? Вѣдь ужъ ей никто больше трехъ рублей не дастъ жалованья; стало быть, наша жизнь еще лучше жизни кухарки. Да мало ли есть женщинъ, которыя живутъ хуже нашего?

— Все зависитъ отъ счастья: нынче и нашъ братъ, швея, не скоро найдетъ мѣсто, а къ другому мы неспособны. Вотъ теперь, въ это время, и къ Пасхѣ работы во всѣхъ магазинахъ бываетъ много: даже въ дрянныхъ магазинахъ, въ которыхъ круглый годъ нѣтъ дѣла, и тамъ есть работа на купчихъ и мѣщанокъ. А посмотрите, что̀ будетъ послѣ праздниковъ! Дай Богъ, чтобы привелось сшить хотя одно платье въ недѣлю.

Изъ хозяйской комнаты вышелъ сынъ Эмиліи Карловны, высокій, худощавый, съ изъѣденнымъ оспой блѣдно-дряблымъ лицомъ мододой человѣкъ въ тепломъ пальто, крытомъ драпомъ съ воротникомъ подкрашеннаго бобра и въ высокой круглой шляпѣ. На рукахъ его были надѣты бѣлыя перчатки. Онъ курилъ папироску. По обыкновенію, онъ снялъ шляпу, раскланялся и потомъ поздоровался за руки съ Софьей Васильевной и Дарьей Андреевной.

— Куда это вы собрались?—спросила его Дарья Андреевна.

— Въ церковь.

— Ну, попа на порогѣ застанете: ужъ къ достойнѣ звонили.

— Я къ архіерею. «Тебе Бога хвалимъ» хочется послушать—великолѣпно поютъ. Знаете, пѣвчіе съ обоихъ клиросовъ выходятъ на средину, да какъ начнутъ... Никогда вы не слыхали такого пѣнія?

— Гдѣ же намъ. А вы дайте-ка папиросъ,—говорила Дарья Андреевна.

— Съ полнымъ удовольствіемъ, — и онъ далъ швеямъ по папироскѣ.

— Мать говоритъ, что вы цѣлую ночь не спали?—спросилъ онъ, обращаясь къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Что жъ, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго! вѣдь мужчины тоже просиживаютъ цѣлыя ночи за картами.

— Это вы на мой счетъ намекаете. Мерси... Ну, положимъ такъ, что я цѣлую ночь проиграю, такъ вѣдь тамъ интересъ.

— И здѣсь тоже интересъ, а тамъ можно и проиграть.

— Ну, я не изъ такихъ; я когда выигрываю, тогда играть готовъ сколько угодно; но если вижу, что мнѣ не везетъ съ самаго начала, я бросаю игру и ухожу домой.

— Какъ это честно съ вашей стороны!—замѣтила Софья Васильевна, не смотря на него.

Славинъ слегка толкнулъ ногой Дарью Андреевну, какъ это онъ и дѣлалъ уже не разъ; Дарья Андреевна покраснѣла, но скоро оправилась.

— Что̀ жъ, по-вашему проигрывать, что̀ ли?—обратился онъ насмѣшливо къ Софьѣ Васильевнѣ.

— А выигрывать любите?

— На то и игра, чтобы выигрывать.

— Ну, это не резонъ,—начала Дарья Андреевна.—Если вы собственно играете не для развлеченія, а для выигрыша, то должны и проигрывать для того, чтобы другіе не сочли васъ за...

— За кого?

— Ну, вотъ еще! Ступайте въ церковь слушать «Тебе Бога хвалимъ».

— Нѣтъ, я не уйду до тѣхъ поръ, пока вы не скажете, за кого меня будутъ считать.

— Ну, и сидите.

— И буду сидѣть!

— И все-таки не добьетесь отвѣта.

— Почему?

— Вотъ мило, почему: мужчина, чиновникъ, который служитъ въ уголовной палатѣ, и не можетъ самыхъ обыкновенныхъ вещей понять.

— Ну, эдакъ мы съ вами разссоримся.

— Ну, такъ идите и не мѣшайте намъ, а за папироску примите спасибо.

Но Николай Павловичъ не уходилъ. Онъ старался оправиться: поправлялъ свой шарфъ, натягивалъ перчатки, посвистывалъ, что-то хотѣлъ сказать, но не могъ; глаза его дѣлались то суровыми, то печальными.

— Такъ и не скажете?—опять спросилъ онъ Дарью Андреевну, снова толкнувъ ее ногой.

— Ахъ, отстаньте пожалуйста!—чуть не крикнула Дарья Андреевна такъ, что Софья Васильевна посмотрѣла на нее и замѣтила на ея лицѣ краску и выраженіе неудовольствія.

— Нѣтъ, вы скажите.

— Изволѣте,—вы шаромыжникъ.

— Не понимаю этого слова!

— Ну, вы скряга, то-есть, скупой человѣчишко, и еще лучше—обирало, то-есть, что вы любите только взять.

Николай Павловичъ всталъ.

— Мерси! Это ужъ слишкомъ!—и онъ ушелъ.

Дарья Андреевна захохотала.

— Однако вы съ нимъ ловко заигрываете,—проговорила Софья Васильевна.

— Не я, а онъ заигрываетъ.

— И вамъ нравится?

— Пусть его тѣшится и принимаетъ насмѣшки, сколько ему угодно.

— Но это можетъ чѣмъ-нибудь кончиться.

— Не думаю!.. Вотъ ужъ не воображала я услышать отъ васъ этого!

— Онъ человѣкъ милый.

— Полноте острить. Онъ самый пустой человѣкъ, какихъ я только видала въ чиновномъ сословіи. Впрочемъ, въ дѣлахъ-то, можетъ-быть, онъ и собаку съѣлъ.

— Кто собаку съѣлъ?—спросила хозяйка, пришедшая изъ своей комнаты.

— Мы говорили про одного чиновника, который письма написать не умѣетъ, а въ дѣлахъ собаку съѣлъ, то-есть, такой дѣлецъ, что чудо!—отвѣтила Дарья Андреевна.

Разговоръ о хозяйскомъ сынѣ этимъ и закончился.

Какъ ни торопились швеи, а платье посредницѣ Емельяновой поспѣло ровно ко второму часу. Эмилія Карловна отослала его съ Глашей, но Глаша черезъ часъ вернулась съ нимъ.

— Она меня прогнала: мнѣ, говоритъ, платье нужно было къ обѣднѣ, а теперь мнѣ его не надо,—отрапортовала Глаша хозяйкѣ.

— Скажите пожалуйста! Она бы еще заказала его мнѣ вчера... Послѣ этого никому ничего нельзя дѣлать! Я цѣлыхъ сорокъ цѣлковыхъ наличными деньгами отдала купцу Толкачеву за матерію... Отчего же ты его не оставила у нее?—напала хозяйка на Глашу.

— Какъ же я его оставлю не получивши денегъ!

— Дура ты, и больше ничего!

Черезъ десять минутъ хозяйка, велѣвъ Глашѣ нести картонку съ платьемъ, сама пошла къ заказчицѣ.

— Вотъ и работай! Если эта модница не возьметъ платья, мы и денегъ не получимъ. Значитъ, мы напрасно время только потратили,—говорила Софья Васильевна.

— Хозяйка сама виновата, что не хотѣла взять Матрешу за прежнюю плату: Матреша шьетъ скорѣе Глаши; скорѣе и кончили бы.

— Подите вы со своей Матрешкой: она все бы перепортила.

Въ это время пришелъ Адольфъ Яковлевичъ сильно выпивши, такъ-что его пошатывало.

— А! ви здѣсь! Здѣсь... Кар-рашо-о! Отлично!—проговорилъ онъ, описывая кругъ, и подошелъ къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— И-и!... Ви знайтъ мой... Честный человѣкъ! Ей-Богу.

И онъ взялъ Дарью Андреевну за руку.

— Дуракъ я или нѣтъ? А! Какъ ви думайтъ?

— Не знаю,—отвѣтила Дарья Андреевна.

— А развѣ я мошенникъ?

— Кто же объ этомъ говоритъ?

— Нѣтъ, я докажу. Докажу-у!! У!!! —и онъ ударилъ по столу кулакомъ, потомъ подошелъ къ Софьѣ Васильевнѣ.

— Я мошенникъ?

— Полно вамъ представляться, Эмилія Карловна скоро придетъ.

— Что мнѣ Эмиль Карловна!.. Я самъ... Я механикъ. Я еще докажу, каковъ я есть Петерсонъ. Самъ хозяинъ, Борисовъ, безъ меня ничто.

— Кто же васъ обругалъ?—спросила Дарья Андреевна.

— Мужикъ, мастеровой! Кулакъ вотъ сюда показалъ,—нѣмецъ указалъ на глазъ.—А? Каково? Я мошенникъ, хозяинъ мошенникъ, всѣ мошенники. И меня бить?.. Посидишь ты у меня въ части!

— Неужели вы его посадили?—спросила опять Дарья Андреевна.

— Посадилъ.

— Это нехорошо: вѣдь теперь праздникъ.

— Нехорошо? Такъ я мошенникъ? А!.. Всякій гадъ можетъ мнѣ кулакомъ грозить?

— Развѣ вамъ говорятъ это?

— Вы сказаль!

— Полноте! Вы бы лучше ушли, а то мѣшаете.

— Меня гнать! Да я что такое? Кто я?!—И онъ сѣлъ.

— Ну, вотъ сидите лучше смирнѣе, а то еще глясэ испачкаете.

— Меня, благороднаго нѣмца, гнать? Дудки... Я выгоню.—Онъ захохоталъ.

Софья Васильевна сдѣлала Дарьѣ Андреевнѣ знакъ, чтобы она молчала.

— Русскій... русскій... А что такое русскій—дрянь... Кто теперь механикъ—нѣмецъ, кто мастеръ—нѣмецъ, а русскій у нѣмца служитъ. Вотъ мы что. И вдругъ меня ругать... бить? Софья Васильевна?

— Что?

Нѣмецъ захохоталъ.

— Софья Васильевна... А я знаю, все знаю... все!! Вотъ какъ!.. А ея не люблю, ненавижу,—сказалъ онъ, указавъ рукой на Дарью Андреевну.

— Иди-ко лучше спать,—сказала Софья Васильевна.

— Я-то?.. Я еще пойду... пойду пиво пить... А чиновницъ не люблю.

— А сами тоже на чиновницѣ женаты!—замѣтила Софья Васильевна.

— Эмиль Карловна нѣмка природная. А русскихъ не люблю... Я природный нѣмецъ изъ Кенисберъ... Я защищалъ свою страну... Что?! И вдругъ меня бить... Хо-хо-хо...

Пришла Эмилія Карловна съ Глашей. Картонка была пустая. Увидя пьянаго супруга, она покачала головой и по-нѣмецки позвала его въ комнату. Въ комнатѣ начался крупный разговоръ, но продолжался недолго, потому-что пришелъ Николай Павловичъ. Адольфъ Яковлевичъ ушелъ.

— Отдали платье? спросила Эмилію Карловну Софья Васильевна.

— Еще бы. Я пригрозила полиціей—взяла, только деньги не всѣ отдала. Ну, а другое поспѣетъ къ вечеру?

— Поспѣетъ.

— Ужъ я вамъ прибавлю, только пожалуйста поторопитесь—хоть и не особенно плотно шейте. Вотъ вы, Дарья Андреевна, ужъ больно часто иголкой стукаете. Ну, пойдемте кушать.

Въ первый разъ со времени поступленія Дарьи Андреевны въ магазинъ, Эмилія Карловна пригла-

сила ее обѣдать съ собой; со времени ея поступленія, и Софья Васильевна ни разу не обѣдала съ хозяйкой. Глаша и Маша были отосланы обѣдать въ кухню. Однако, несмотря на такое расположеніе къ старшимъ швеямъ, Эмиліи Карловнѣ было какъ-то неловко передъ сыномъ, что она усадила съ собою швей; она старалась держать себя какъ хозяйка или начальница, и хотя потчевала ихъ, просила ѣсть больше, но слѣдила за тѣмъ, не берутъ ли онѣ лишняго куска и не прячутъ ли этотъ кусокъ въ карманъ. Впрочемъ, она была разговорчива, но сынъ ея больше отмалчивался и глядѣлъ недовольно. Дарья Андреевна спросила было его: слышалъ ли онъ архіерейскихъ пѣвчихъ; онъ сказалъ, что въ соборъ не попалъ, а зашелъ къ пріятелю, и замолчалъ. Вообще обѣдъ шелъ невесело, натянуто, и Дарья Андреевна съ нетерпѣніемъ ждала конца его; нѣсколько разъ хотѣлось ей выйти; но приличіе требовало сидѣть. Софья Васильевна, напротивъ, была рада приглашенію и истребляла кушанья въ достаточномъ количествѣ.

Послѣ обѣда швеи усѣлись шить, хозяйка легла спать. Когда она заснула, Николай Павловичъ пришелъ въ швейную въ сюртукѣ, сѣлъ къ столу, за которымъ шили дѣвицы, и предложилъ имъ папиросъ.

— Завтра я отправлюсь въ театръ; взялъ билетъ въ кресло,—проговорилъ онъ, важно разваливаясь на стулѣ.

— Нѣтъ, чтобы намъ подарить по билетику,— сказала Софья Васильевна.

— Если хотите, я достану въ амфитеатръ.

— Достаньте.

— А вамъ, Дарья Андреевна?

— А вы уже развѣ не сердитесь?

— Нѣтъ. Я рѣшилъ бросить играть въ карты. Буду лучше читать, хотя, признаться сказать, чтеніе мнѣ не особенно-то нравится. Такъ взять вамъ билетъ?

— Только не завтра, потому-что у насъ есть работа.

— А вы бросьте.

— Нельзя; къ третьему дню нужно.

Николай Павловичъ подсѣлъ ближе къ Дарьѣ Андреевнѣ и сунулъ ей на колѣни бумажку. Дарья Андреевна прочитала и покраснѣла.

Николай Павловичъ вышелъ въ сѣни.

На клочкѣ бумаги было написано слѣдующее: «Я съ вами, милѣйшая Дарья Андреевна, мирюсь, но съ тѣмъ, чтобы вы пошли со мною въ театръ... Притворитесь больными. Отвѣтъ въ сѣняхъ».

Но Дарья Андреевна въ сѣни не вышла. «Пусть его померзнетъ», думала она и улыбалась. Софья Васильевна замѣтила эти улыбки и, ядовито улыбнувшись, ушла въ сѣни; только-что она вышла, вошелъ Николай Павловичъ и позвалъ Дарью Андреевну въ магазинъ.

— Говорите здѣсь,—проговорилъ онъ съ волненіемъ. Не принимаете миру?

— Глупости.

Въ швейную вошла Софья Васильевна. Николай Павловичъ въ ту же минуту ушелъ домой и заперъ дверь. Послѣ этого до самаго вечера Софья Васильевна ни слова не сказала съ Дарьей Андреевной.

Время до вечера тянулось ужасно скучно. Заговаривали только Глаша и Маша, которыя шить не особенно спѣшили; Дарья же Андреевна и Софья Васильевна, казалось, совсѣмъ погрузились въ свои занятія и думы и не обращали вниманія на младшихъ швей, которыя частенько заигрывали другъ съ дружкой. Въ самомъ же дѣлѣ Дарьѣ Андреевнѣ не нравилась навязчивость хозяйскаго сына, непріятно казалось работать въ праздникъ; Софья Васильевна ревновала. Хотя эта ревность и была слабая, потому-что Николай Павловичъ уже давно мало оказывалъ ей уваженія, но ей было горько, что онъ явно любезничаетъ съ молодой дѣвушкой, доходитъ до того, что при ея, Софьи Васильевны, глазахъ вызываетъ ее даже въ сѣни. «Еслибы я не любила его, и тогда непріятно, когда тебѣ предпочитаютъ другую». Мысли ея были грустныя. Ей думалось о своей квартирѣ, гдѣ ждетъ ее чиновникъ; ей казалась противною работа, хотѣлось уйти отъ Эмиліи Карловны, не докончивъ работы, но жаль было поступиться деньгами: Эмилія Карловна была должна ей около десяти рублей.

Въ комнату вошла кухарка Настасья.

— Софья Васильевна, васъ какой-то писарь съ кокардой спрашиваетъ.

Щеки Софьи Васильевны покраснѣли, и она неловко вышла изъ комнаты.

— Это ея любовникъ! — сказала Глаша. — А славно кухарка-то ее огрѣла.

«Зачѣмъ она сюда его не призоветъ? Ужъ если она живетъ съ нимъ, и про это знаютъ дѣвицы, стыдиться бы, кажется, нечего», думала Дарья Андреевна.

Пришла Софья Васильевна, свернула лоскутки и шитье, увязала все это въ платокъ, надѣла пальто.

— Скажите, что я не совсѣмъ здорова и платье докончу сегодня дома, — проговорила она, обращаясь къ швеямъ, смотря больше въ полъ.

Но въ это время вышла изъ своей комнаты хозяйка и удивилась, увидавъ Софью Васильевну одѣтою и съ узломъ.

— Позвольте мнѣ дошить платье дома, завтра утромъ я принесу.

— Ну, нѣтъ. Этого я не позволю... Ни подъ какимъ видомъ не позволю.

— Почему?

— На это я много имѣю причинъ; во-первыхъ, вы не хозяйка и находитесь у меня въ работницахъ. Какое право вы имѣете уходить изъ магазина безъ спросу и забирать съ собой работу? Не перебивайте... Я имѣю основанія не давать на-домъ работу, потому что могутъ украсть, можетъ случиться пожаръ.

— Какія глупости!

— Нѣтъ, не глупости. А можетъ даже случиться и лучше—вдругъ вы не придете.

— Вы меня обижаете!—закричала Софья Васильевна.

— Какъ вамъ угодно, а платье прошу оставить... Вотъ еще выдумали!—и Эмилія Карловна выхватила узелъ.

— Позвольте разсчетъ. Я послѣ этого не могу у васъ работать.

— Придите завтра.

— Я сейчасъ требую, сію минуту... Иначе я позову полицію,—кричала Софья Васильевна внѣ себя.

Вошелъ изъ сѣней мужчина въ сѣрой шинели съ кошачьимъ воротникомъ и въ фуражкѣ съ кокардой. Ему на видъ было лѣтъ сорокъ-пять, но коротенькіе черные волосы уже начинали сѣдѣть. Лицо его было продолговатое, на щекахъ замѣтенъ синеватый отливъ отъ бритья. Въ фигурѣ этой было много смѣшного: онъ вошелъ какъ-то сгорбившись, бокомъ; нижняя губа значительно оттопырилась и открыла рядъ почернѣлыхъ отъ табаку зубовъ; большіе глаза часто моргали, широкій носъ былъ красенъ.

— Вы... Вы что это?..—проговорилъ чиновникъ октавой, шлепая губами.

— Вы кто такой? Что вамъ угодно?—напустилась на чиновника хозяйка.

— Какое вы имѣете право задерживать деньги, не пускать Софью Васильевну домой?

— А какое, позвольте васъ спросить, вы имѣете право вмѣшиваться въ мои дѣла?

— Я?..По какому...по...—замѣшался чиновникъ.

— Идите вонъ!

— Я вонъ?! Пожалуйте въ полицію.

— Сколько я вамъ должна, г-жа Казанцева?

— Десять рублей.

— Хорошо. Я сосчитаю. Подождите.

Она ушла.

— Вы-то зачѣмъ сюда пришли? — напустилась Софья Васильевна на чиновника.

— Я думалъ, драка...

— Оселъ, — прошептала Софья Васильевна и сѣла. Пришла хозяйка.

— Вотъ вамъ пять рублей, остальные получите завтра.

— Отдайте всѣ!!

— Не могу: нѣтъ денегъ.

— Дайте что-нибудь подъ залогъ,—проговорилъ чиновникъ.

— Неужели вы не можете подождать до завтра?

— Хорошо, я приду завтра. Но если вы мнѣ денегъ не дадите—знайте меня. Я вамъ отомщу за всѣ ваши благодѣянія, — проговорила запальчиво Софья Васильевна, и ни съ кѣмъ не простившись вышла. Чиновникъ вышелъ тоже за ней, что-то бурча про себя.

— Скажите! Вотъ наглость-то!.. Приглашать любовника къ благороднымъ людямъ заводить скандалъ... О, это ужасно! Я этого не прощу. Я подамъ на нее и на ея любовника прошеніе и попрошу васъ быть свидѣтелями,—говорила Эмилія Карловна, ходя скорыми шагами по комнатѣ и ломая руки.

Это былъ первый скандалъ въ квартирѣ Петерсонъ. Часовъ въ двѣнадцать ночи пришелъ Адольфъ Яковлевичъ пьяный, сталъ примазываться къ дѣвицамъ, обнялъ Дарью Андреевну, сталъ ее цѣловать. Насилу Эмилія Карловна оттащила его отъ Дарьи Андреевны и увела въ комнату. Черезъ полчаса въ хозяйской комнатѣ начался крикъ и баталія: слышались пощечины, звенѣла посуда, летѣли стулья; кричали по-нѣмецки мужъ и жена; слышался голосъ Николая Павловича, голосъ кухарки, хозяйскаго кучера.

Дѣвицы пришли въ трепетъ.

Черезъ часъ все успокоилось.

— Насилу связали молодца,—сказала кухарка, проходя черезъ комнату. — Онъ пьяный ужасно буянитъ: такихъ фонарей наставилъ Эмиліи Карловнѣ, что ей двѣ недѣли нельзя будетъ въ люди показаться; столъ, пять стульевъ изломалъ и посуды сколько перебилъ... Варваръ, да и только.

Всю ночь Дарья Андреевна шила; къ утру она такъ ослабѣла, что рѣшила проситься у Эмиліи Карловны домой. Но Эмилія Карловна упросила ее остаться до тѣхъ поръ, пока она не окончитъ заказанныхъ къ третьему дню праздниковъ платьевъ.

— Когда кончите, я васъ отпущу на трое сутокъ. Только наканунѣ Новаго года я васъ прошу зайти, потому-что можетъ быть кто-нибудь и закажетъ на Новый годъ,—говорила хозяйка.

— Но мнѣ съ Глашей трудно.

— Послѣ Новаго года я поищу дѣвицъ, да вотъ, можетъ быть, и Катя выздоровѣетъ. А Софью Васильевну я уже не приму. Она хотя и хорошая швея и закройщица, но видитъ Богъ, сколько я перенесла отъ нея. Я думаю васъ выучить кроить платья. Это не очень трудное дѣло.

Дарья Андреевна обрадовалась этому, потому-что, сдѣлавшись главной мастерицей-закройщицей, она кромѣ поштучной платы могла получать еще и жалованье помѣсячно, а съ этимъ и жизнь ея могла измѣниться къ лучшему. Въ это время ее душилъ кашель, насморкъ не давалъ покою.

Въ обѣдню пришла въ магазинъ тетка Кати. Маша ей обрадовалась и подошла съ вопросомъ о здоровьи Кати.

— Охъ, мое горе! Катя долго жить приказала...—И тетка заплакала.

Изъ рукъ Дарьи Андреевны и Глаши выпала работа отъ этой вѣсти. Пришла Эмилія Карловна и тоже удивилась, услыхавъ о смерти Кати.

— Уходили вы ее, мою голубушку, замучили!— говорила со слезами тетка Кати.

— Вольно же вамъ было отбирать отъ нея деньги,—сказала Эмилія Карловна.

— Много вы давали денегъ?.. Нищій больше получитъ, чѣмъ вы платили. Богъ вамъ судья!

Стали разспрашивать тетку о болѣзни Кати, о днѣ смерти и похоронъ. По разсказамъ тетки, Катя хворала черной немочью, во время болѣзни сперва бредила, потомъ перестала говорить и померла вчера вечеромъ, и ей, теткѣ, и схоронить ее нечѣмъ; вотъ она и пришла за помощью къ Эмиліи Карловнѣ, которой приписываетъ смерть Кати.

— Эмилія Карловна, выдайте мнѣ изъ моихъ денегъ рубль,—сказала Дарья Андреевна хозяйкѣ.

— Зачѣмъ? я лучше сама дамъ своихъ.

— Нѣтъ, я хочу тоже пожертвовать.

— А отъ меня полтинникъ,—сказала Глаша.

— Ну, какъ хотите. Только я вамъ не довѣряю: вы, пожалуй, и эти деньги припрячете,—сказала она Катиной теткѣ.

Катина тетка обидѣлась. Петерсонъ высказала ей жалобы покойной Кати на нее и увѣряла ее, что она, Василькова, и теперь уже выпивши; Василькова начала упрекать Петерсонъ въ томъ, что она надувала Катю и т. п.; дѣло дошло чуть не до ссоры, и Эмилія Карловна уже не хотѣла ничего давать Васильковой, но Дарья Андреевна вступилась.

— Эмилія Карловна, какое намъ дѣло до того, на что онѣ употребятъ деньги? Пусть это останется на ихъ совѣсти, а мы все-таки должны помочь ей, потому-что Катя намъ была не чужая.

Эмилія Карловна дала Васильковой четыре рубля съ полтиной.

Еще ночь просидѣла Дарья Андреевна и на этотъ разъ уже не давала спать Глашѣ, потому-что ей хотѣлось проводить на кладбище Катю; Глашѣ тоже хотѣлось, и поэтому она готова была бороться съ одолѣвающимъ ее сномъ, чтобы только вырваться изъ магазина.

На третій день платья были окончены. Эмилія Карловна послала ихъ съ Дарьей Андреевной. Первый визитъ Дарьи Андреевны въ богатый домъ съ платьями и за получкой денегъ былъ удачный: платья понравились, ей выдали деньги, подарили полтинникъ за ходьбу и назвали модисткой. Въ прихожей этой барыни было зеркало, и какъ только Дарья Андреевна взглянула въ него, то не узнала себя: лицо ея было блѣдно-истомленное, щеки впали, глаза вялые, какіе-то заспанные, волоса выползали изъ сѣтки и торчали, точно она встала сейчасъ. Впрочемъ, она и сама чувствовала слабость во всемъ тѣлѣ, боль въ головѣ. Ее потягивало, она зѣвала. Но ее безпокоило то, что у нея начинало болѣть горло, чего прежде никогда не бывало, и мучить кашель.

Отъ Эмиліи Карловны Дарья Андреевна отправилась съ Глашей на извозчикѣ на кладбище. Она ѣхала на извозчикѣ въ первый разъ на свои деньги; у ней теперь было въ портмоне четыре рубля съ полтиной. Пріѣхали онѣ уже тогда, когда изъ церкви вынесли гробъ съ отпѣтой Катей Васильковой. Пока она провожала гробъ до могилы, которая была очень далеко отъ церкви, и возвращалась къ кладбищенскимъ воротамъ, извозчикъ уже уѣхалъ. Пришлось идти пѣшкомъ, а до ея квартиры дойти было не меньше пяти верстъ. Дулъ рѣзкій вѣтеръ какъ разъ въ лицо, онъ сквозилъ сквозь дыры ватнаго пальто и пробиралъ ее до костей; а три безсонныя ночи до того обезсилили ее, что она не могла идти скоро. Она чувствовала то жаръ, то холодъ, вся дрожала, въ глазахъ мутилось. Василькова пригласила ее и Глашу къ себѣ помянуть Катю, но онѣ отказались. Кое-какъ Дарья Андреевна дошла до многолюдной улицы; взяла извозчика, который привезъ ее къ квартирѣ уже больную. Дарья Андреевна захворала. Вскорѣ какъ она легла на свою постель, съ ней начался бредъ.

XXVI.

Какъ только Эмилія Карловна осталась въ своемъ магазинѣ одна, она заперла изнутри двери, выходящія какъ въ сѣни, такъ и въ кухню, и начала ревизію своего имущества. Не считая посуды, которой еще на долго бы хватило ея супругу бить, у нея было много разныхъ платьевъ и бѣлья, принадлежащаго собственно ей, но какъ платья, такъ и бѣлье оказались приходящими уже въ ветхость: въ одномъ мѣстѣ прорѣха, въ другомъ точно какое-нибудь государство на географической картѣ обозначалось на цѣлый аршинъ въ діаметрѣ сѣрымъ пятномъ, составляющимъ тонкій слой, который стоитъ только тряхнуть и изъ него въ ту же минуту образуется пустое пространство; третьи вещи полиняли, четвертыя вышли изъ моды, пятыя сдѣлались узки, какъ-то чулки, рукавчики, воротнички. И хоть бы одна вещь была новая. Все или надо починить, или перешить, и все-таки будетъ старо, а новаго ничего нѣтъ. Окруженная этимъ тряпьемъ, какъ торговка на толкучкѣ, Эмилія Карловна задумалась. Все это вещи старинныя, много ихъ, а толку мало, хотя бросать жаль. «Когда-то я лучше жила!» —думала она, глядя на это старье, и ей обидно сдѣлалось, что чѣмъ дальше она живетъ, тѣмъ меньше у нея прибываетъ новаго, а даже убываетъ старое. Вонъ даже въ шкафу остается одно свободное мѣсто, гдѣ висѣлъ ея дорогой салопъ. Ея воображенію представилась ея кухарка, нарядившаяся въ первый день праздника послѣ обѣда въ новое платье, которое хотя и было ситцевое, но шуршало; представилась ей одна содержательница моднаго магазина, къ которой она заходила мимоходомъ пить кофе—и у той новое шерстяное коричневое платье; припомнила она прежніе годы, когда къ Рождеству у нея непремѣнно была какая-нибудь обнова. Обидно сдѣлалось Эмиліи Карловнѣ; обидно, что она имѣетъ свой швейный магазинъ, въ которомъ шьютъ дѣвицы, а себѣ она не можетъ завести платья. Вѣдь дѣвицы ничего бы не взяли съ нея. «Въ прошломъ году я тоже хотѣла завести платье—некогда было; въ третьемъ тоже. Къ Пасхѣ хотѣла—денегъ не было», думала Эмилія Карловна. «И никогда не заведешь новаго платья, потому что некогда, надо работать на сторону, поспѣть вовремя. Да и куда мнѣ старухѣ наряжаться? Прежде—дѣло другое», рѣшила она и сложила хламъ. Но это не такъ ее безпокоило, какъ безденежье. Взяла она книгу—долговъ оказалось немного: ей должны не больше ста рублей; а она должна купцамъ больше четырехсотъ. «И когда это я такъ успѣла задолжать?». Оказалось, что долгъ накапливался постепенно со второго года открытія ею магазина. Сперва къ слѣдующему году она была должна только пять рублей, а къ четвертому году уже пятьдесятъ и т. д. «Для чего, спрашивается, я содержу магазинъ? Я должна наживать деньги, а выходитъ, что я кругомъ въ долгу, живу въ кредитъ. Ужъ какъ, кажется, я ни стараюсь угодить моимъ заказчицамъ, какъ ни экономничаю, изъ кожи лѣзу, а долги растутъ!». И ей припомнилась прежняя жизнь. Прежде, хотя она и работала на хозяекъ такихъ же, какъ и она, но тогда только была озабочена, когда хозяйки почему-нибудь задерживали слѣдуемыя ей въ уплату деньги; ее безпокоило только то, что, живя неразсчетливо, она иногда не могла заплатить въ срокъ деньги за комнату; случалось ей уходить въ магазинъ и не пивши кофе; зато у нея не было долговъ. «Да, тогда лучше было жить». Но отчего же теперь хуже, если она имѣетъ свой ма-

газинъ, сама хозяйка? Живетъ она экономно, мужъ у нея денегъ не проситъ, и еще даетъ по двадцати и двадцати-пяти рублей въ мѣсяцъ, сынъ тоже даетъ по восьми рублей. Кажется, жить можно бы отлично?— «Да. Хорошо было бы, если бы у меня съ самаго начала было много денегъ; ну, хоть тысяча рублей. Тогда я бы сразу, если бы не повела дѣло на широкую ногу, то по крайней мѣрѣ хорошо бы устроилась. Тогда мнѣ не пришлось бы забирать въ долгъ у купцовъ; я бы могла и заказчицамъ не отдавать вещи безъ денегъ. А какъ я начала-то дѣло? Такъ же какъ и многія изъ нашего брата. Хотя и говорятъ, что нѣмцы начинаютъ съ небольшими деньгами и потомъ дѣлаются богачами, только эдакое счастіе выпадаетъ на долю мужчинъ, а не женщинъ. Открой я магазинъ въ Петербургѣ, вышло бы, можетъ-быть, и другое дѣло: тамъ нѣмокъ много, я бы нашла себѣ швей изъ нѣмокъ, онѣ бы меня поддержали, а здѣсь и нѣмцевъ-то мало. Хотя во время открытія ею магазина и существовалъ модный магазинъ, въ которомъ хозяйка была нѣмка, но эта нѣмка еще хуже вооружилась противъ нея за то, что она завела еще лишній магазинъ въ городѣ. И эта нѣмка живетъ теперь хорошо: у нея богатый магазинъ, у нея работаетъ восемь дѣвицъ, изъ которыхъ пятеро живутъ у нея, т.-е., взяты ею въ обученіе даромъ отъ родителей и родственниковъ. Тутъ-то Эмилія Карловна догадалась, что она сдѣлала большую оплошность. «Мнѣ бы надо было съ самаго начала взять къ себѣ на воспитаніе дѣвицъ двухъ-трехъ: хлѣба онѣ съѣли бы немного, износили бы тоже—тряпья-то у меня надолго бы хватило имъ,— денегъ платить имъ не нужно, а работа шла бы хорошо. Да, ошиблась я, не разсчитала. Сколько я переплатила денегъ своимъ швеямъ! сколько онѣ у меня перепортили, а Казанцева даже перехватывала работу на-домъ! Вотъ отчего я постоянно въ долгу и изъ этого долгу никогда не выпутаюсь, если такимъ же порядкомъ буду имѣть работницъ. Надо принять мѣры, пока еще долги не дошли до тысячной цифры, когда, пожалуй, и магазинъ отъ меня отберутъ и по судамъ будутъ таскать, да засадятъ куда-нибудь».

Время теперь самое удобное. Казанцева отъ работы отказалась, да и Эмилія Карловна рѣшила не принимать ея ни подъ какимъ предлогомъ; Катя умерла, Глашѣ можно отказать. Машу можно бы законтрактовать, но она лѣнива, груба и будетъ мучить новыхъ дѣвицъ,—можно ее и прогнать. Дарью Андреевну можно оставить; такъ-какъ она кроить не умѣетъ, то этимъ будетъ заниматься она, Эмилія Карловна; она будетъ учить Яковлеву этому, и пока Яковлева не научится, она будетъ платить ей поштучно, убавивъ на десять и больше копеекъ плату противъ прежняго на томъ основаніи, что теперь у нея заводятся новые порядки. Все это отлично, но вотъ бѣда: магазинъ ей нужно устроить по другому; ужъ если держать ученицъ на всемъ на готовомъ, надо имъ дать и помѣщеніе, какого въ квартирѣ нѣтъ. Устроить бы имъ мѣсто для ночлега въ кухнѣ,—такъ кухня мала. Надо перемѣнить квартиру. А этого сдѣлать Эмиліи Карловнѣ не хотѣлось: она такъ облюбила эту квартиру, въ которой прожила столько лѣтъ, что ей жалко было и тяжело разстаться съ ней; кромѣ того, квартира была сравнительно съ другими дешева; на этой квартирѣ у нея было и есть много заказчицъ, а перейди она на другую квартиру — пожалуй, заказчицъ и поубавится. Но и это ничего. Главное, найдетъ ли она такъ скоро дѣвицъ, а если найдетъ, то придется долго ихъ обучать. «Кабы это прежде было!» —вздохнула Эмилія Карловна и махнула рукой.

«Ужъ не закрыть ли совсѣмъ магазинъ? Вѣдь я замужемъ: пусть попробуютъ посадить въ тюрьму. Мужъ не пуститъ. Ну, а если дѣло будетъ плохо, я уговорю мужа уѣхать въ другой городъ или въ Петербургъ».

Однако это отчаяніе длилось недолго: ей жалко было разстаться съ магазиномъ, бросить это занятіе; ей непремѣнно хотѣлось имѣть свой магазинъ и хозяйничать въ немъ. Она привыкла хлопотать, чтобы у нея были заказчицы, она привыкла командовать. Она была женщина самолюбивая и никакъ не хотѣла довести себя до униженія: закрой она магазинъ—она будетъ ничто; никто ей не будетъ изъявлять уваженія, надъ нею будутъ смѣяться, всѣ ее забудутъ. «Хоть мнѣ и больно теперь, что я кругомъ въ долгу, зато, имѣя заказчицъ, я могу современемъ и выпутаться изъ долговъ. Не все же такъ будетъ». Правда, она это говорила уже не первый разъ, но бросить магазинъ значитъ уже не надѣяться на себя, обречь себя на бездѣйствіе, на вѣчную скуку. «Если бы у меня были маленькія дѣти, тогда бы я, пожалуй, и бросила магазинъ и стала бы заниматься дѣтьми. А теперь что я стану дѣлать? Я старѣю, мужъ тоже, да онъ и надоѣлъ». И она рѣшила ни за что не закрывать магазина. Намѣреніе устроить его по другому, а именно держать дѣвушекъ подъ видомъ обученія, крѣпко засѣло въ ея голову и она высказала это своему мужу.

— Это хорошо! Тогда ты не будешь платить имъ за работу. Я знаю, какъ наживаются хозяева такимъ манеромъ: самъ находился въ обученіи. Только гдѣ мы помѣстимъ ихъ?

— Надо нанять другую квартиру.

— Я давно объ этомъ думалъ, потому-что мнѣ далеко ходить на заводъ. А дѣвушекъ мы найдемъ: у нашихъ мастеровыхъ много есть дѣвочекъ. Они не знаютъ, куда и дѣваться съ ними. Недавно одинъ портной купилъ у нашего мастерового двухъ мальчишекъ за пять рублей.

— Ты найди такихъ, чтобы даромъ отдали.

— Ну, нынче народъ тертый, даромъ не отдастъ. Какъ деньги отдашь—дѣло будетъ вѣрнѣе. Стоитъ только напоить, всучить деньги и контрактъ заставить подписать, только копіи давать не нужно. А кто же у тебя будетъ закройщицей?

— Я думаю Яковлеву выучить.

— Уй! уй! Это негодная дѣвица: злая, насмѣшница, чиновница.

— Вотъ это-то мнѣ и нравится: по крайней мѣрѣ, ваша братья меньше къ ней прилипаетъ.

— Собака! Я терпѣть ея не могу, потому она меня мошенникомъ обозвала. Развратная.

— Ну, это едва ли правда.

— Правда! Я хоть и рѣдко бываю дома, а кое-что знаю: ты посмотрѣла бы лучше за своимъ сыномъ.

— Нечего мнѣ смотрѣть, и прошу не упрекать меня сыномъ, котораго вы не очень-то долюбливаете.

— И не люблю, потому онъ картежникъ и съ худымъ поведеніемъ.

Послѣ этого разговора съ мужемъ, Эмилія Карловна задумалась. Адольфъ Яковлевичъ не любилъ ея сына. Еще когда Николай Павловичъ былъ гимназистомъ, у Адольфа Яковлевича чувствовалась къ нему антипатія, не потому, чтобы онъ не любилъ совсѣмъ русскихъ, а потому, что тотъ не изъявлялъ къ нему не только покорности, но относился къ нему какъ къ чужому человѣку, за котораго мать вышла замужъ, Богъ-знаетъ для чего. Не нравилось нѣмцу, что мальчишка относился къ нему свысока, какъ какой-нибудь барченокъ къ какому-нибудь мужику, смѣялся надъ нимъ, спорилъ, доказывалъ противное, ставилъ его мнѣнія ни во что, держалъ себя такъ заносчиво, что между ними дня не проходило безъ стычекъ; жили они какъ старый котъ съ собачонкой, съ тою разницею, что Адольфъ Яковлевичъ ненавидѣлъ Николая Павловича до того, что старался обѣдать или одинъ, или только съ Эмиліей Карловной. Когда же Николай Павловичъ поступилъ на службу и сдѣлался чиновникомъ, то жизнь Адольфа Яковлевича стала еще хуже прежняго; молодой чиновникъ важничалъ передъ нимъ, ставилъ ни въ грошъ его мѣщанское званіе, которымъ онъ наградилъ Эмилію Карловну взамѣнъ ея прежняго чиновническаго, и презрительно относился къ его занятію; Адольфъ же Яковлевичъ презиралъ Николая Павловича за ничтожность его должности, и удивлялся, за что это такому пустому человѣку, умѣющему только писать, даютъ чинъ. Такимъ образомъ, жить вмѣстѣ имъ приходилось подчасъ не въ мочь. Но такъ какъ оба они считали себя хозяевами у Эмиліи Карловны, и каждому хотѣлось вытѣснить другого изъ квартиры, то каждый старался встрѣчаться другъ съ другомъ какъ можно рѣже: Адольфъ Яковлевичъ все свободное время проводилъ въ пивныхъ, напитывая себя пивомъ, а Николай Павловичъ проводилъ время за картами. Все это весьма озабочивало Эмилію Карловну, которая тщетно старалась примирить мужа съ сыномъ, а въ ихъ времяпровожденіи видѣла одну гибель. Замѣчала также Эмилія Карловна, что сынокъ ея ухаживаетъ за Софьею Васильевною, заставала ихъ въ сѣняхъ и хотя дѣлала за это сыну выговоры, но была увѣрена въ томъ, что сынъ ея не рѣшится жениться на Софьѣ Васильевнѣ, которую она не очень долюбливала. Не ускользнули отъ ея глазъ и ухаживанья за Дарьей Андреевной; прежде она на это не обращала вниманія, потому-что «онъ мальчикъ, ему нужно развлеченіе; нельзя же ему быть медвѣдемъ». Теперь же, послѣ разговора съ мужемъ, она серьезно призадумалась надъ этими ухаживаньями и поведеніемъ ея сына. Ухаживанья дѣлаются неспроста, они къ чему-нибудь ведутъ. Отъ нея не ускользнули манеры ея сына за обѣдомъ въ первый день Рождества, когда онъ былъ точно самъ не свой. Ясно, стало-быть, что онъ влюбился въ швею.

«А его пора женить. Ему уже скоро пойдетъ двадцать-второй годъ, скоро онъ получитъ должность столоначальника и второй чинъ», думала Эмилія Карловна. Но на комъ женить? Эта мысль давно ее преслѣдовала, особенно послѣ ссоръ съ мужемъ изъ-за сына. Она пришла къ тому заключенію, что въ ея домѣ тогда будетъ спокойно, когда въ немъ не будетъ сына: если онъ женится, то будетъ жить или на квартирѣ, или въ домѣ жены. Но она желала, чтобы онъ самъ себѣ выбралъ невѣсту изъ благородныхъ, съ приданымъ, чтобы у родителей невѣсты былъ домъ, забывая, что первый ея мужъ женился на ней единственно изъ любви и на свои деньги справилъ приданое и свадьбу. Однако заводить объ этомъ предметѣ разговоръ съ сыномъ она не рѣшалась; она ждала, не начнетъ ли онъ самъ. Но онъ не начиналъ. А время шло; ссоры въ квартирѣ усиливались; мужъ и сынъ рѣдко приходили домой обѣдать, поздно возвращались ночью. Объ мужѣ она не безпокоилась: заводъ находился далеко отъ магазина, и Адольфъ Яковлевичъ обѣдалъ у управляющаго заводомъ, которому и платилъ за это деньги. А гдѣ ея сынъ обѣдаетъ? Не можетъ быть, чтобы онъ обѣдалъ у товарищей, которые не Богъ-знаетъ какое большое получаютъ жалованье: надо уже не имѣть совсѣмъ стыда, чтобы постоянно обѣдать у нихъ, а онъ даже рѣдко кого и къ себѣ-то приглашаетъ на чай. Обѣдать въ трактирѣ—нужно имѣть деньги, и деньги большія; быть нахлѣбникомъ не совсѣмъ ловко, имѣя мать. Ужъ не завелъ ли онъ любовницу? Въ этомъ случаѣ, онъ пропащій человѣкъ, потому-что любовница навѣрное его оберетъ. Она слѣдила за сыномъ долго и кое-какъ услѣдила, что сынъ ходитъ со службы въ одинъ ветхій домъ на Тесовой улицѣ. А знала она также, что въ этомъ домѣ живетъ молодая вдова, мѣщанка Варвара Николаевна Гаврилова, которая ничѣмъ не занимается. Стала она упрекать сына,—тотъ сказалъ, что онъ приготовляетъ въ уѣздное училище десятилѣтняго брата Гавриловой и ничего худого въ домѣ Гавриловой не дѣлаетъ, и даже обидѣлся, сказавъ, что онъ не маленькій и самъ понимаетъ, что̀ худо и что̀ хорошо, и что если она, мать, будетъ ему надоѣдать своими глупыми подозрѣніями, то онъ и на квартиру съѣдетъ. Эмилія Карловна такъ и оставила его въ покоѣ. Теперь ей еще болѣе хотѣлось женить сына. Но на комъ? Не на мѣщанкѣ же Гавриловой, которая ничего не умѣетъ дѣлать. Дочерей чиновниковъ, такихъ, у которыхъ бы имѣлось хорошее приданое, въ виду не имѣлось, а бѣдныхъ семейныхъ чиновниковъ расплодилось много. Настоящее ея положеніе привело ее къ тому выводу, что хорошо было бы, еслибы сынъ женился на чиновнической дочери, такой, которая бы умѣла шить и помогать ей, и которой она могла бы передать магазинъ. И она остановилась на Дарьѣ Андреевнѣ.

— Дѣвушка она работящая: работа у ней такъ и кипитъ въ рукахъ; кроенье и фасоны разные она пойметъ скоро. Она проста и съ какою угодно дѣвицею можетъ ужиться; сколько времени она работала, и мнѣ никакого обиднаго слова не сказала; ничего она у меня не утаила. Къ тому же она красивая, изъ дворянскаго роду, и у ней родня богатая и видная, такъ что и сыну будетъ хорошо, и работы въ магазинѣ

будетъ много. Чего же еще лучше надо? Да и сынъ, кажется, любитъ ее.

Обрадовавшись этой мысли, она рѣшилась говорить съ сыномъ и въ воображеніи устраивала планъ новой квартиры.

Но сынъ не пришелъ ночевать домой въ этотъ день, не явился онъ также къ обѣду и на другой день. Не пришли также ни Глаша ни Дарья Андреевна. Только послѣ обѣда пришелъ къ ней Кузьма Андреичъ и спросилъ объ сестрѣ.

— Я ее еще вчера отпустила домой. Она, вѣроятно, и завтра не придетъ,—сказала ему Эмилія Карловна.

— Вы неблагородно поступаете съ вашими швеями: развѣ можно ихъ заставлять работать въ праздники, да еще такіе большіе?—сказалъ Кузьма Андреичъ.

— Я ихъ не заставляла: онѣ сами работали.

Вечеромъ пришелъ сынъ сердитый. Утромъ, когда Адольфъ Яковлевичъ ушелъ изъ дому, Эмилія Карловна начала съ сыномъ такой разговоръ:

— Я думаю нанять другую квартиру, потому-что хочу взять въ обученіе маленькихъ дѣвицъ, а для этого теперешняя квартира не годится.

— И прекрасно. Вы найдите такую, чтобы для меня тоже была отдѣльная комната.

— Я ужъ и это обдумала. Однако мнѣ, Коля, надо съ тобой поговорить серьезно: ты не мальчикъ, пора тебѣ подумать о женитьбѣ.

Сынъ усмѣхнулся.

— Ты думаешь, я ничего не вижу и не знаю. Я понимаю, зачѣмъ ты ходишь учить брата мѣщанки Гавриловой. Положимъ, мнѣ до вашихъ отношеній нѣтъ дѣла, но ты сообрази, что во-первыхъ, тратишь много денегъ, а во-вторыхъ, этимъ ты только себя унижаешь.

— Дальше?—спросилъ сынъ, улыбаясь.

— Я говорю не шутя, какъ мать. Развѣ мнѣ пріятно, что ты ведешь такую развратную жизнь? Ты бы мнѣ долженъ помогать, а не тратить деньги, Богъ знаетъ на что. Я тебѣ не запрещаю играть въ карты, но развратничать... это нехорошо.

— Все это вздоръ, мамаша, и я удивляюсь, откуда эта химера явилась въ вашей головѣ. И я васъ предупреждаю, что если вы мнѣ еще будете надоѣдать своими глуностями, то я, право, уйду на квартиру, тѣмъ болѣе, что мнѣ надоѣлъ Адольфъ Яковлевичъ. Я даже самъ хотѣлъ объ этомъ поговорить съ вами.

Эмилія Карловна заплакала, стала упрекать сына въ неблагодарности, говорила, что онъ ее обижаетъ, и стала сѣтовать на участь матерей, которыя изъ кожи лѣзутъ, чтобы сдѣлать изъ дѣтей хорошихъ людей, а дѣти, какъ встанутъ на ноги, то не только не хотятъ оказать имъ на старости лѣтъ помощи, но отворачиваются отъ нихъ, какъ отъ чужихъ, и не изъявляютъ должнаго уваженія. Сынъ старался успокоить ее.

— Кто вамъ говоритъ, что я вамъ не хочу платить денегъ? Я согласенъ вамъ выплачивать за то, что вы воспитали меня и сдѣлали чиновникомъ. Положите сумму, и я буду платить ежемѣсячно, только избавьте меня отъ этой жизни. Вы сами говорите, что я не маленькій. Подумайте, пріятно ли мнѣ видѣть косые взгляды Адольфа Яковлевича, слушать его разговоры о какихъ-то рабочихъ, хвастовство о томъ, что безъ него остановился бы заводъ. А вѣдь я не могу же сидѣть нѣмымъ.

— Ты самъ задираешь.

— Не я, а онъ. Что же дѣлать, если мы съ нимъ ни въ чемъ не сходимся и никогда ни въ чемъ не сойдемся? Это—адъ!

И онъ началъ ходить по комнатѣ.

— Много ты о себѣ думаешь! Я тебѣ не запрещаю жить на квартирѣ и платы съ тебя за воспитаніе не возьму, но я не позволю, чтобы ты жилъ съ какой-нибудь мѣщанкой.

— Это дѣло мое.

— Прекрасно! Стало быть, ты меня ни во что ставишь?

— Нынче всѣ должны быть равны. Помните это. Это—разъ; а вотъ другое: вѣдь и вы изъ мѣщанскаго званія.

Эмилія Карловна замолчала. Она видѣла, что ея планъ ускользаетъ отъ нея, что она не такъ начала.

— Такъ ты думаешь жениться?

— Боже меня сохрани, чтобы я сдѣлалъ такую глупость: это значитъ надѣть на себя петлю.

— Ахъ, Коля, Коля! Нечестно это, неблагородно. Подумай, вѣдь могутъ быть дѣти.

— Что жъ мнѣ дѣлать? Будетъ глупо, если я, получая такое жалованье, закабалю себя женитьбой. Жена сдѣлается чиновницей, я долженъ ее содержать, какъ чиновницу: платья, шляпки, салопы... Нѣтъ!

— Ты женись на чиновнической дочери,—сказала Эмилія Карловна несмѣло.

— У которой ничего нѣтъ—покорно благодарю.

— Какъ нѣтъ? Ты только мнѣ скажи, и я найду.

— Это вы ужъ не Яковлеву ли хотите навязать мнѣ?

— А если и такъ...

— Спасибо. Она такая гордая, самолюбивая, что съ нею и полгода не уживешься: ужъ если она отъ родни убѣжала, то отъ мужа убѣжитъ и подавно.

— Не убѣжитъ, на то ты мужъ...

— Да это только вы привязались къ вашему супругу, а посмотрѣли бы вы на нашу аристократію: губернаторша живетъ съ прокуроромъ, прокурорша живетъ въ Петербургѣ, вице-губернаторша уѣхала за границу съ чиновникомъ особыхъ порученій, жену правителя канцеляріи подозрѣваютъ въ связи съ предсѣдателемъ уголовной палаты, потому-что она открыто ѣздитъ къ нему. Да мало ли примѣровъ... А за тузами послѣдовали и мелкіе чиновники: у насъ недавно женился асессоръ на повивальной бабкѣ, а она уже черезъ три мѣсяца переѣхала отъ него на другую квартиру.

— А тебѣ-то до нихъ какое дѣло! Вѣдь все это ведется отъ васъ, мужчинъ. А я знаю, что Яковлева не такая. Она любитъ работать, и вотъ я хочу предоставить ей магазинъ, и думаю, что она дѣло поведетъ отлично.

— Теперь я понимаю!.. Вы хотите женить меня на модисткѣ, которая бы работала на васъ?

— Неблагодарный ты...

— Знаете, какъ общество смотритъ на модистокъ?

— Давно ли ты говорилъ о равенствѣ? Я тебѣ предлагаю Яковлеву потому, во-первыхъ, что она дѣвушка хорошая. Я за нею ничего не замѣчала худого. Не перебивай,—выслушай. Родня у нея богатая. Положимъ, эта родня ей много не дастъ въ приданое, но у нея еще отцомъ накоплено приданое въ вещахъ. Если родня не дастъ денегъ, такъ ты можешь выиграть по-службѣ. Во-вторыхъ, она сдѣлается сама хозяйкою въ магазинѣ, а я ни во что не буду вмѣшиваться.

Сынъ задумался. Мать, смотря на сына, продолжала:

— Она не походитъ на другихъ чиновническихъ дочерей: она проста, трудолюбива и горда. За это ея родня не любитъ. Она говорила, что у нея уже было много жениховъ, но она ни за одного не вышла замужъ, потому-что или ей ихъ навязывали, или они сами навязывались ей. Я вѣдь знаю, что ты ухаживаешь за нею.

Сынъ покраснѣлъ.

— И я тебѣ не препятствовала въ этомъ, потому что думала, что она не похожа на Казанцеву; но если ты докажешь мнѣ, что она вѣтреная, то я и не стану говорить о ней.

— Да, она вѣтреная: хохочетъ, вызываетъ на что-то и потомъ дуется. Нѣтъ, я ея не люблю.

— Но ты то сообрази, что ты черезъ нее можешь получить хорошую должность, она будетъ хозяйкою въ магазинѣ.

— А мнѣ не хочется, чтобы моя жена была магазинщица!.. Однако, мамаша, вы разрѣшаете мнѣ жить на другой квартирѣ?

— Ты серьезно хочешь?

— Серьезно.

— Дѣлай, какъ знаешь. Но если ты будешь жить съ мѣщанкой-потаскушей, на это нѣтъ тебѣ моего благословенія.

Сынъ ушелъ, а Эмилія Карловна долго плакала. Мечты ея разрушались. На первыхъ порахъ она было рѣшила не принимать къ себѣ сына, но потомъ гнѣвъ ея утихъ. Она думала, что онъ не долго проживетъ на квартирѣ, будетъ ходить къ ней, мѣщанки ему могутъ надоѣсть. А видя меньше Яковлеву, онъ можетъ полюбить ее. Тогда планы ея осуществятся.

Эмилія Карловна повеселѣла, и ей захотѣлось съѣздить на квартиру Дарьи Андреевны посмотрѣть, какъ она живетъ.

На другой день она съ Глашей отправилась къ Дарьѣ Андреевнѣ, но тамъ сказали, что Дарью Андреевну вчера увезли въ николаевскую больницу.

Эмилія Карловна запечалилась, поѣхала въ больницу; но ея не пустили потому, во-первыхъ, что было поздно, а во-вторыхъ, къ ней никого не велѣно пускать, кромѣ ея родни, цѣлую недѣлю.

Планы ея рушились. Софья Васильевна поступила на другое мѣсто, сынъ съѣхалъ на квартиру къ мѣщанкѣ Гавриловой, Глашу она отпустила, магазинъ заперла, но вывѣсокъ не сняла: если же кто приходилъ къ ней съ заказами, она брала только то, что могла сшить сама, а другимъ отказывала по болѣзни.

XXVII.

Первый узналъ о болѣзни Дарьи Андреевны братъ ея Кузьма Андреичъ, который прямо отъ Эмиліи Карловны отправился къ сестрѣ. Онъ былъ сердитъ и на сестру и на Петерсонъ, на первую за то,—что та не поздравила съ праздникомъ ни дядю ни Платоновыхъ, на послѣднюю за то, что та заставляла его сестру работать въ такой большой праздникъ, какъ Рождество. Кромѣ этого, ему было непріятно еще и то, что Дарья Андреевна обманула сестру, обѣщавъ ей сшить платье, чѣмъ кололи Марью Андреевну дядя и его жена, а между тѣмъ времени до Новаго года осталось немного, и матерія лежала нескроенною. Больше всего ему было непріятно то, что дядя обращается съ нимъ какъ-то небрежно, точно онъ сторожъ, такъ что еслибы онъ не надѣялся получить черезъ него за это терпѣніе должность, то онъ перешелъ бы въ другое присутственное мѣсто. И это онъ тоже приписывалъ Дарьѣ Андреевнѣ. «Ужъ задамъ же я ей выговоръ. И если она попрежнему будетъ важничать и задирать кверху носъ—чортъ съ ней; ноги моей больше не будетъ у нея».—Такъ думалъ онъ, идя по той улицѣ, которая вела къ дому мѣщанина Удинцова, и чѣмъ, дальше онъ шелъ, тѣмъ больше его разбирала злость, можетъ-быть, потому еще, что была вьюга: вѣтеръ такъ и кружилъ только-что выпавшій снѣгъ, который какъ иглами рѣзалъ лицо: къ тому же и день какой-то мрачный; на небѣ плаваютъ густыя, сѣрыя тучи, которыя чѣмъ дальше къ западу, тѣмъ кажутся чернѣе. Дорогу во многихъ мѣстахъ занесло снѣгомъ, такъ-что приходилось карабкаться по огромнымъ сугробамъ, спускаясь въ гладкую лощину, а тутъ еще ѣхало шесть возовъ съ дровами и пришлось простоять буквально по животъ въ снѣгу, въ сторонѣ отъ дороги, нѣсколько минутъ, пока они проѣзжали. Дорогу къ дому Удинцова тоже замело; да сегодня ея и не прочищали, потому-что самъ хозяинъ мучился животомъ и охая лежалъ на полатяхъ, жена его еще вчера вечеромъ ушла въ городъ принимать ребенка, сынъ пьянствовалъ безпросыпу, то-есть, проснется, напьется и опять завалится спать.

— Сестрица ваша нездорова,—сказала ему Татьяна Савельевна, отворявшая дверь съ крыльца въ сѣни.

Глаза ея были заплаканы.

— Что съ ней?

— Простудилась, должно-быть. Да у насъ нынче совсѣмъ больница: тесть охаетъ, животъ надсадилъ; ишь ты, хотѣлъ справиться съ бревномъ; мой мужъ...

Она махнула рукой.

— Старушка наша тоже лежитъ... Сапожникъ третьяго-дня ушелъ куда-то. Должно, запилъ. Просто бѣда!.. Одна. Боюсь...

Дарья Андреевна лежала въ своей комнатѣ. Она была слаба и дрожала. Въ комнатѣ было холодно.

— Вчера мы хоронили нашу дѣвушку; должно быть, я простудилась. Спасибо, Елена Николаевна въ баню меня сводила вчера, а то не знаю, что̀ бы было... И теперь то жаръ, то ознобъ, и горло болитъ,

—говорила слабымъ голосомъ Дарья Андреевна, часто кашляя.

— Вольно же тебѣ было!.. Я не понимаю, право, сестра, что̀ тебѣ за охота вести такую жизнь? Смотри, какъ ты похудѣла и часто кашляешь.

Дарья Андреевна рукой махнула.

— Не тревожьте ея! Охота вамъ корить больную,—проговорила Татьяна Савельевна.

— Ты бы, сестра, въ больницу пошла.

Сестра посмотрѣла на него и болѣзненно улыбнулась, но ничего не сказала.

— Кто еще пуститъ ее въ больницу-то! Помереть ей, что ли, тамъ? А еще братъ!—проговорила обиженно Татьяна Савельевна.

— Но развѣ здѣсь можно ей оставаться? Здѣсь холодно; окно заволокло снѣгомъ, а истопить, такъ угаръ будетъ.

— Ужъ не безпокойтесь! Мы лучше васъ знаемъ... Вотъ теща придетъ, вылѣчитъ.

— Сестра, я, право, совѣтую тебѣ лечь въ больницу.

— Какъ хочешь! Мнѣ все равно, — сказала Дарья Андреевна и отвернула отъ него лицо.

Братъ постоялъ еще нѣсколько минутъ около сестры и ушелъ.

— Такъ вы, въ самомъ дѣлѣ, ее въ больницу хотите стурить?—спросила его Татьяна Савельевна.

— Да.

— Ну, злой же вы однако!

— Чѣмъ же?

— Тѣмъ, что смерти желаете своей сестрѣ. Да нѣтъ, мы ея не дадимъ вамъ ни за что.

Кузьма Андреичъ разсмѣялся и ушелъ.

Дядя былъ дома. Онъ сидѣлъ въ кабинетѣ съ Елизаромъ Аникіевичемъ Платоновымъ и игралъ съ нимъ въ шашки. Платоновъ былъ средняго роста, здоровый мужчина, съ полнымъ, лоснящимся, гладкимъ, пріятнымъ лицомъ, съ сѣдыми, остриженными подъ гребенку волосами и съ небольшой сѣдой бородой и сѣдыми бекенбардами. Около нихъ стоялъ молодой человѣкъ двадцати-пяти лѣтъ съ длинными, черными волосами, съ продолговатымъ лицомъ. Въ его манерахъ проглядывала легкость и игривость, а въ черныхъ глазахъ — оживленіе и быстрота. Онъ былъ одѣтъ франтовски въ драповый пиджакъ табачнаго цвѣта и такія же брюки. Это былъ младшій сынъ Платонова, недавно пріѣхавшій изъ Петербурга, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ университетѣ. Яковлевъ и Платоновъ играли, оживленно спорили, острили и говорили другъ другу не очень нѣжныя слова. Семенъ Елизаровичъ, смотря на нихъ, подразнивалъ то того, то другого, что часто ихъ бѣсило.

Кузьма Андреичъ робко вошелъ въ кабинетъ. Семенъ Елизаровичъ подалъ ему руку.

— А! Кузьма,—сказалъ дядя.—Предсѣдатель не былъ?

— Нѣтъ.

— Закури-ка, братъ сигару: у меня руки полны шашками,—сказалъ Кузьмѣ Андреичу Платоновъ-старикъ и самодовольно кашлянулъ.

— Не хвастайся, старина: я еще тебя упеку!—сказалъ Яковлевъ-дядя.

Кузьма Андреичъ раскурилъ сигару и подалъ. Молодой Платоновъ сѣлъ въ кресло и взялъ газету.

— Что, вы не видали Дарьи Андреевны?—спросилъ онъ Кузьму Андреича.

— Сейчасъ былъ у нея: она нездорова, простудилась.

— А! Это плохо. Кто ее лечитъ?

— Старуха-хозяйка.

— Да она эдакъ ее уморитъ.

Старики кончили игру. Встали.

— Ты говоришь, Даша нездорова? — спросилъ Кузьму Андреича дядя.

— Очень, дяденька.

— Сама виновата... Да. Зачѣмъ ей было уходить отъ меня?

— Не могъ, братъ, ты ее удержать! Ха, ха! А еще совѣтникъ,—говорилъ, хлопая по спинѣ Ипполита Аполлоныча, старикъ Платоновъ. А кабы я къ себѣ ее взялъ, не ушла бы. Ха, ха! Вы люди старые, у васъ молодежи нѣтъ. Не такъ ли, Сенюша? Ха, ха!

— Полно вамъ шутить. Надо, въ самомъ дѣлѣ, подумать объ Дарьѣ Андреевнѣ,—сказалъ Семенъ Елизаровичъ.

— Я думаю, ее лучше отправить въ больницу...—началъ было Кузьма Андреичъ.

— Не ваше дѣло, милостивый государь. Васъ не спрашиваютъ, и вы должны молчать, когда говорятъ старшіе,—сказалъ строго Ипполитъ Аполлонычъ.

Кузьма Андреичъ покраснѣлъ и отошелъ къ дверямъ.

— Да, да! Это не ваше дѣло, молодой человѣкъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія! Это нашъ долгъ... ха-ха,—проговорилъ старикъ Платоновъ.

— Тутъ, кажется, папаша, не надъ чѣмъ смѣяться. Дарья Андреевна, какъ говоритъ Кузьма Андреичъ, живетъ въ холодной квартирѣ... — началъ молодой Платоновъ.

— Да, да, безъ сомнѣнія! Мы ее къ себѣ возьмемъ, наймемъ докторовъ. Не такъ ли, Ипполитъ Аполлонычъ?

— По-моему надъ болѣзнію шутить тоже нечего. И я возьму ее къ себѣ, благо у меня дѣтей нѣтъ и съ нею можетъ возиться ея сестра,—проговорилъ Ипполитъ Аполлонычъ.

Всѣ пошли въ столовую, гдѣ уже былъ накрытъ столъ, но кушанья еще не были поданы. Ипполитъ Аполлонычъ пошелъ къ женѣ. Анна Николаевна обдергивала съ цвѣтовъ сухіе листья.

Сперва Ипполитъ Аполлонычъ обрадовался извѣстію о болѣзни Дарьи Андреевны, обрадовался какъ всякій эгоистъ, самолюбіе котораго обижено. Онъ былъ до того разсерженъ на Дарью Андреевну, что если бы, какъ онъ думалъ, она потеряла мѣсто, не могла нигдѣ найти себѣ работы, чтобы чѣмъ-нибудь жить, и вслѣдствіе этого пришла бы къ нему съ повинной головой, онъ ея не принялъ бы къ себѣ. Онъ по-своему думалъ, что ей не вынести такой жизни, на которую она рѣшилась, что эта жизнь съ нуждою и лишеніями на каждомъ шагу, жизнь трудовая, надоѣстъ ей, измучитъ ее, она опять обратится, если не къ нему, такъ къ Платоновымъ, которые прежде обращались съ нею ласково. И онъ

подсмѣивался надъ ней и торжествовалъ, думая, что уже тогда она, испробовавъ горькаго, будетъ покорная его раба, и онъ ею можетъ вертѣть, какъ угодно. Теперь онъ видѣлъ, что Дарья Андреевна не вынесла рабочей жизни, что ее сломило, и, стало быть, она нуждается въ помощи. Раньше ему не приходила въ голову мысль, что она можетъ захворать, но теперь, при первомъ же словѣ объ ея болѣзни, произнесенномъ Кузьмой Андреичемъ, онъ сообразилъ, что она у него на рукахъ, потому что онъ, какъ бы ни былъ на нее сердитъ, все-таки дядя заблудшей овцы, которую оставлять больною въ какомъ-то вертепѣ неловко. Въ этомъ случаѣ его большая родня стала бы упрекать его въ жестокости. И такъ старикъ Платоновъ уже часто упрекалъ его Дарьей Андреевной, увѣряя, что если бы она жила у него, то ея никто не довелъ бы до того, чтобъ она ушла въ модистки. Поэтому Ипполитъ Аполлонычъ былъ даже радъ болѣзни своей племянницы и рѣшилъ взять Дарью Андреевну къ себѣ.

— Наша коза-то допрыгалась-таки: лежитъ больная... Кузьма говоритъ, что она очень нездорова,—проговорилъ Ипполитъ Аполлонычъ женѣ.

— Намъ-то что за дѣло!—отвѣтила хладнокровно Анна Николаевна.

— Да-да!.. Оно конечно... Только я полагаю, не мѣшало бы намъ помочь ей.

— Чѣмъ это?

— Надо принять участіе. Если бы я не занималъ должности и не имѣлъ родни, мнѣ наплевать бы... Но... но теперь нельзя. Оставь я ее на квартирѣ—она умретъ, и смерть ея припишутъ мнѣ, хоть я тутъ ни душой ни тѣломъ не виноватъ.

— Какъ вы сердобольны! Давно ли вы костили ее, на чемъ свѣтъ стоитъ, а теперь...

— Нельзя же, душа моя... Вонъ старикъ Платоновъ то-и-дѣло насмѣхается надо мной.

— Ну, и пусть его возится съ ней. Онъ человѣкъ богатый, не то что мы, голяки... Эдакъ если мы будетъ всѣхъ призрѣвать—сами будемъ во всемъ нуждаться. А извѣстно, какая отъ нихъ благодарность-то! Пусть Платоновы и возьмутъ ее.

— Ну, это ужь слишкомъ! Да если я допущу до этого, тогда мнѣ ни отъ кого проходу не будетъ изъ-за этой дѣвчонки. Вотъ наградилъ Господь роденькой! Нѣтъ у насъ такой комнаты, въ которую бы можно было положить больную?

— Ипполитъ Аполлонычъ! Въ своемъ ли вы умѣ?!.. Вотъ еще новости!..

— Нельзя же ее бросать.

— Дѣвчонка шлялась, Богъ-знаетъ гдѣ...

— Она на мѣстѣ жила.

— Много вы, сударь, знаете!.. Я очень хорошо знаю, что такое швеи, и какъ онѣ живутъ. Развѣ вы знаете, чѣмъ она больна? Эти швеи, въ общество которыхъ попала наша племянница, живутъ въ грязи, до такой степени неряшливо, что ихъ поѣдомъ ѣдятъ эти, прости Господи... паразиты.—Анна Николаевна вздрогнула.—Нѣтъ, я не дозволю, чтобы въ нашемъ домѣ помѣстилась больная, Богъ знаетъ какою, заразою.

— Но... Что же дѣлать?

— Предоставьте это дѣло Платоновымъ. Не забудьте, что у васъ живетъ еще дармоѣдка. Впрочемъ, тутъ цѣль другая.

— Ну, полно!

— Я вѣдь кое-что вижу... Безсовѣстный, безсовѣстный!

— Ну, душа моя! Это тебѣ кажется. Нельзя же по-твоему поступать строгостью; нужно и ласки. Однако надо что-нибудь дѣлать. Отправить ее развѣ въ больницу?

— Это будетъ хорошо.

— Послѣ обѣда я съѣзжу самъ.

— Еще того лучше! Да вы кажется совсѣмъ обворожены вашей племянницей!.. Ну, къ чему вамъ ѣздить самому въ больницу? Будто это не устроится и безъ васъ? напишите записку къ смотрителю и пошлите ее съ Кузьмой теперь же.

— Пожалуй.

Черезъ четверть часа Кузьма Андреичъ уже шелъ съ письмомъ къ смотрителю больницы. Яковлевъ сказалъ о своемъ распоряженіи Платоновымъ.

— Прекрасно, прекрасно... дипломатически... ха-ха! Въ больницѣ ей будетъ лучше,—сказалъ старикъ Платоновъ.

Къ концу обѣда вернулся Кузьма съ извѣстіемъ, что смотритель принимаетъ Дарью Андреевну: въ дворянской палатѣ есть два свободныхъ мѣста.

— Ты, Кузьма, сходи ко мнѣ и скажи, чтобы запрягли возокъ. Вѣдь на извозчикѣ ее продуетъ.

Кузьма Андреичъ уѣхалъ къ Платоновымъ съ Семеномъ Елизаровичемъ, и съ нимъ же отправился на квартиру больной.

Оба они во всю дорогу рѣдко заводили разговоръ. При всей жесткости характера, выработавшагося отъ жизни въ чужихъ людяхъ, у которыхъ Кузьма Андреичъ мало видѣлъ любви и ласки и находился въ постоянномъ подчиненіи, походившемъ на лакейство и доведшемъ его до озлобленія на этихъ людей,—до озлобленія, невыказывавшагося наружу ничѣмъ, потому-что онъ все-таки ждалъ отъ этихъ людей помощи,—все-таки онъ былъ человѣкъ не злой и очень любилъ Дарью Андреевну, хотя любилъ по-своему. Онъ какъ и себѣ, желалъ ей добра. Себя онъ хотѣлъ устроить такъ, чтобы у него была хорошая должность съ хорошимъ содержаніемъ, и поэтому, несмотря на свое озлобленіе къ людямъ, отъ которыхъ зависѣло его счастіе, онъ старался угодить имъ, но угождалъ холодно, безъ лести и иногда выражался даже рѣзко. Онъ былъ человѣкъ разсчетливый, скупой до того, что дрожалъ надъ каждою копейкою, отказывалъ себѣ во многомъ, не пилъ водки, не курилъ табаку и копилъ деньги, чтобы со временемъ купить должность, а потомъ и домъ—и при всей этой скупости онъ обижался, если ему давали какую-нибудь взятку. Онъ былъ такого убѣжденія, что долженъ дѣлать только то, что слѣдуетъ, за что даютъ жалованье; взятку же или доходъ онъ считалъ подачкой Христа-ради. Жениться онъ пока не хотѣлъ, потому-что ему нужна была невѣста денежная и смирная. Дарьѣ же Андреевнѣ онъ желалъ выйти замужъ за хорошаго должностного чиновника, такого, который бы не пилъ, не игралъ въ карты, проводилъ время дома и всею ду-

шою любилъ свою жену. Поэтому ему весьма было непріятно, что она рѣшилась сдѣлаться швеей,—поступокъ, по его мнѣнію, сумасбродный и почти небывалый. Это онъ приписывалъ новымъ идеямъ, бродившимъ въ то время въ обществѣ молодежи вслѣдствіе будто бы какихъ-то романовъ, читать которые онъ терпѣть не могъ, такъ какъ видѣлъ въ нихъ много непохожаго на жизнь, находилъ много пустого и ничего такого, что бы говорило о томъ, какъ наживать деньги и быть богатымъ. Но зная характеръ сестры, онъ смирился и не сталъ ее упрекать. Онъ сталъ вдумываться въ жизнь содержательницъ модныхъ магазиновъ, цеховыхъ портныхъ и т. п. лицъ, и пришелъ къ такому убѣжденію, что изъ сестры дѣйствительно можетъ современемъ выйти содержательница моднаго магазина,—хозяйка. Онъ даже подумалъ о томъ: нельзя ли ему жить съ сестрой, чтобы беречь ея деньги и потомъ пополамъ съ нею открыть на ея имя магазинъ. Чѣмъ больше онъ объ этомъ думалъ, тѣмъ больше мысль эта ему нравилась, потому-что его сестра сдѣлалась бы тогда женщиною самостоятельною, а онъ былъ бы ея помощникомъ. Онъ сознавалъ, что сразу этого достигнуть невозможно, нужно потерпѣть, можетъ быть, и не одинъ годъ, зато тогда мы будемъ хозяевами и тогда, думалъ онъ, если дѣло у насъ пойдетъ хорошо, я могу службу бросить. Но вотъ сестра захворала; она можетъ умереть. И мечты его рушились. У дяди она жить послѣ болѣзни не станетъ; домой тоже не поѣдетъ, а поступитъ опять въ магазинъ—и опять захвораетъ, а если все эдакъ будетъ тянуться, то проживетъ недолго. Открыть сразу магазинъ—нѣтъ денегъ: остается жить вмѣстѣ и ей брать работу на-домъ. Но хорошо ли это будетъ, да и найдетъ ли она работу? Главное, не будетъ ли его притѣснять за это дядя? Поэтому Кузьма Андреичъ ѣхалъ сумрачный; къ тому же онъ еще и не обѣдалъ сегодня: ни у дяди ни у Платоновыхъ накормить его не позаботились. Его бѣсило то, что дядя не взялъ его больную сестру къ себѣ, а отправляетъ въ больницу. Въ больницѣ за лѣченіе въ дворянскихъ отдѣленіяхъ берутъ немного, и онъ рѣшилъ, что будетъ платить изъ своихъ денегъ, и хотѣлъ даже внести впередъ за недѣлю тотчасъ по поступленіи сестры въ больницу.

Семенъ Елизаровичъ курилъ хорошую сигару и полудремалъ отъ сытнаго обѣда. Онъ ѣхалъ изъ любопытства посмотрѣть на тѣ вертепы, гдѣ живетъ отребье. Правда, онъ былъ человѣкъ образованный, съ новыми убѣжденіями, заключавшими въ себѣ желаніе сдѣлать добро бѣдному человѣку, принадлежалъ къ тѣмъ многимъ богатымъ молодымъ людямъ, которые нужду видятъ вскользь, никогда не живали въ бѣдности, которыхъ коробитъ отъ какихъ-нибудь пьяныхъ криковъ гулякъ, ругани; коробитъ при взглядѣ на лохмотья, при видѣ обезображенной личности, покрытаго язвами человѣка; которые стараются не дышать нѣсколько секундъ, чтобы не вдохнуть въ себя мужицкой вони; которые кричатъ противъ пьянства, грязи и разврата, хотя сами и не могутъ обойтись безъ игрушки хотя бы съ такихъ мѣстъ, какъ Невскій проспектъ. Такъ и Семенъ Елизаровичъ выросъ, не испытавъ бѣдности на себѣ. Сначала онъ жилъ у отца; у него было много учителей, изъ которыхъ нѣкоторымъ онъ обязанъ тѣмъ, что не сдѣлался идіотомъ, и изъ него вышелъ не глупый человѣкъ, умѣющій отличить, что хорошо и что худо. Поѣхалъ онъ въ московскій университетъ, но тамъ ему не понравилось, и онъ прожилъ въ первопрестольной столицѣ только полгода. Петербургъ ему понравился лучше, хотя на первыхъ порахъ ему и трудно было отставать отъ своихъ привычекъ и убѣжденій. Лекціи онъ посѣщалъ исправно, съ товарищами жилъ въ ладахъ и даже многимъ помогалъ, сперва безъ разсчета, но потомъ такимъ только, которые ему нравились. Жилось ему хорошо, потому-что онъ жилъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ за прислугу и за столъ выплачивались деньги изъ доходовъ за домъ, но при всемъ этомъ ему едва хватало въ годъ трехъ тысячъ, которые ему высылалъ отецъ. Бо́льшая часть этихъ денегъ шла на дорогія рубашки, которыя онъ носилъ не больше недѣли и которыми обдаривалъ бѣдныхъ студентовъ, на дорогія сигары, на театры и дѣвицъ, съ которыми онъ обращался, какъ богатый человѣкъ, мѣняя ихъ какъ прислугу. Онъ слылъ за либерала; но большинство товарищей все-таки видѣло въ немъ барича, которому дорого его обезпеченное положеніе,—барича, который рисовался и фразировалъ для того, чтобы его не презирали. Хотя онъ и важничалъ въ товарищескомъ кружкѣ, обѣщая поддержку, хвастаясь своимъ большимъ знакомствомъ, но какъ только дѣло принимало серьезный оборотъ, онъ запирался въ своей квартирѣ подъ предлогомъ болѣзни, и такимъ образомъ ему удалось избѣжать различныхъ непріятностей, постигшихъ нѣсколькихъ его товарищей, и получить степень кандидата. Начальство, считая его за благонамѣреннаго человѣка, желало ему много хорошаго впереди: ему предлагали ѣхать за границу съ научною цѣлью, но онъ, не чувствуя призванія къ ученой дѣятельности, отказался. Онъ даже и служить не хотѣлъ, потому-что не находилъ для себя рода службы: ему предлагали мѣсто посредника—онъ отказался, потому-что чувствовалъ, что не сладитъ, какъ слѣдуетъ, ни съ крестьянами ни съ помѣщиками; предлагали должность судебнаго слѣдователя,—онъ отказался на томъ основаніи, что ему жалко становится, когда онъ видитъ арестанта, а тутъ ему придется, можетъ быть, загубить цѣлыя семейства: другой родъ службы онъ считалъ ни для кого не нужнымъ. Вообще онъ съ насмѣшкой относился къ чиновничеству. Въ этотъ городъ онъ пріѣхалъ недавно и скоро успѣлъ обратить на себя вниманіе всей аристократіи. Онъ былъ принятъ вездѣ, какъ рѣдкій и умный гость, умѣющій развлечь даже брюзгливаго старика; его знакомства добивались многіе. Онъ умѣлъ хорошо танцовать, пѣть, играть на фортепіано, не отказывался также играть и въ банкъ; безъ него не устраивался ни одинъ спектакль и ни одинъ литературно-музыкальный вечеръ или утро. Вездѣ онъ былъ простъ, любезенъ; не отказывалъ онъ въ помощи и бѣднымъ людямъ, такъ-что многія старухи-чиновницы, имѣющія много дѣтей, души въ немъ не чаяли и всюду разславляли, что младшій Платоновъ несравненно добрѣе и проще самого старика Платонова, и что если старикъ умретъ, тогда бѣднымъ людямъ будетъ не житье, а царство. Но старики,

чиновники разсуждали иначе: они предсказывали, что онъ спуститъ все имѣніе и сдѣлается такимъ чиновникомъ, къ которому уже не подступайся.

И вотъ этотъ человѣкъ ѣхалъ къ Дарьѣ Андреевнѣ, и надо замѣтить, ѣхалъ въ первый разъ въ жизни въ такое мѣсто, гдѣ жили бѣдные люди,—въ вертепъ, какъ называлъ эти мѣста его отецъ.

Нельзя сказать, чтобы его занималъ женскій вопросъ, хотя онъ принадлежалъ къ лагерю людей, подобныхъ Телѣжниковой, и горячо разсуждалъ объ эмансипаціи женщинъ; да его и не могъ долго занимать этотъ вопросъ, потому-что онъ вращался въ такомъ обществѣ, гдѣ всѣ были сыты, не ощущали надобности въ работѣ изъ-за куска хлѣба, не испытывали того, что испытываютъ тѣ, которымъ работа и вообще трудъ кажется тяжелымъ. Онъ зналъ хорошо, что какъ онъ, такъ и барыни переливаютъ изъ пустого въ порожнее, и смѣялся надъ тѣми барынями, которыя тосковали о томъ, что имъ нечего дѣлать, что ихъ не удовлетворяетъ семейная жизнь, надоѣла возня съ дѣтьми, наскучили книги; зналъ также, что если какая-нибудь изъ такихъ барынь принималась шить себѣ платье, то она непремѣнно призывала швею; въ присутствіи швеи шила, портила и въ концѣ-концовъ, считая себя неспособною, бросала работу, которую и оканчивала швея. Онъ смѣялся надъ этими барынями даже явно, за что онѣ и прозвали его насмѣшникомъ, осмѣивающимъ благородные нравы, а Телѣжникова даже злилась на него. Однимъ словомъ, женскій вопросъ онъ считалъ пригоднымъ только для низшаго сословія, живущаго исключительно трудомъ, которое ни о какой эмансипаціи не разсуждаетъ и не требуетъ посторонняго вмѣшательства. Но вотъ онъ услыхалъ, что чиновническая дочь пошла въ швеи. Это бы ничего, потому что мало ли есть бѣдныхъ чиновниковъ, которымъ нечѣмъ содержать свою семью; но его удивило то, что это была дѣвушка изъ хорошей фамиліи. Онъ ясно видѣлъ, что какъ совѣтникъ Яковлевъ, такъ и отецъ его и вся ихъ родня конфузились, когда заводился разговоръ объ Дарьѣ Андреевнѣ; они старались не говорить объ ней въ обществѣ; но въ то же время замѣтилъ, что въ аристократическомъ обществѣ интересуются этой дѣвушкой. И дѣйствительно, сытые и праздные люди заговорили объ ней разно: одни завопили, что дѣвушка прониклась новыми идеями, и ликовали; другіе—хвалили ее за смѣлость и рѣшимость и желали ей успѣха; третьи—завидовали и сердились, что Дарья Андреевна опередила ихъ, т.-е., что они еще думаютъ, а она ужъ работаетъ, и старались узнать, что это за личность. Затѣмъ пошли сплетни. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ барыни обращались съ модистками небрежно, какъ съ рабочими людьми, которыхъ и обругать можно вѣжливымъ образомъ; и вдругъ въ это общество идетъ дѣвушка изъ извѣстной и благородной фамиліи не по нуждѣ, а Богъ-знаетъ отъ чего! И большинство рѣшило, что тутъ что-то не такъ.

И вотъ молодому Платонову представился случай увидать эту дѣвушку, увидать, какъ живутъ трудящіяся женщины, и провѣрить, на сколько справедливы объ ней толки аристократокъ. Онъ зналъ Дарью Андреевну, но видалъ ее рѣдко; онъ видѣлъ ее въ третьемъ годѣ, она изрѣдка гуляла въ саду его отца, но онъ говорилъ пустяки, смѣшилъ ее разными разсказами преимущественно о шалостяхъ студенческихъ, различныхъ продѣлкахъ; правда, она спрашивала его кое о чемъ, но онъ отдѣлывался шуточками, потому-что считалъ безполезнымъ дѣлиться съ нею своими знаніями; словомъ, съ нею онъ проводилъ время пріятно. Иногда онъ дозволялъ себѣ шалости, въ родѣ объятій, но она убѣгала отъ него, давала ему щелчокъ,—что ему, избалованному человѣку, привыкшему получать удовольствія безъ борьбы, не очень-то нравилось. Впрочемъ, онъ ею не могъ увлечься, во-первыхъ, потому, что она бывала у Платоновыхъ очень рѣдко, и то съ дядей или теткой; во-вторыхъ, была не такъ красива, какъ желалъ Семенъ Елизаровичъ, и въ-третьихъ, онъ все-таки считалъ ее дѣвицею необразованною. Старыя баловства теперь припомнились, сердце его билось не то тоскливо, не то радостно; ему захотѣлось, во что бы то ни стало, принять участіе въ ея судьбѣ, вылѣчить ее—за что она, бѣдная дѣвушка, конечно, будетъ очень благодарна ему и привяжется. Онъ представлялъ ее себѣ высокою, стройною, красивою дѣвушкою, такою, какая подходила подъ его идеалъ и какая выходила бы изъ ряда обыкновенныхъ существъ; онъ думалъ, что она его полюбитъ и онъ ее... и потомъ... Онъ томно прищурилъ глаза, но вскорѣ же повернулся такъ, что Кузьма Андреичъ посмотрѣлъ на него.

— Что Дарья Андреевна много получаетъ за шитье?—спросилъ онъ Кузьму Андреича.

— Она получаетъ за штуку.

— Говорятъ, что модисткамъ платятъ хорошо.

— Да, ей платили рубля по два за штуку.

— Какъ мало! Я вотъ недавно здѣсь заказалъ себѣ пару: фракъ, брюки и жилетъ, и съ меня портной взялъ пятьдесятъ рублей. Онъ говорилъ, что одно шитье стоитъ десять рублей.

— Не знаю. Только вы очень дорого заплатили.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Я недавно сшилъ себѣ сюртукъ, брюки и жилетъ за двадцать-пять рублей.

— Не можетъ быть! Можетъ быть, сукно было ваше?

— Нѣтъ драпъ былъ его.

— Ну, да вы, конечно, отдавали какому-нибудь послѣднему портному.

Кузьма Андреичъ не отвѣчалъ, потому-что самолюбіе его было оскорблено; теперь онъ еще больше обидѣлся на Платоновыхъ: ужъ если ихъ сынъ, слывущій за прогрессиста, называетъ при немъ его сестру модисткой, то каково ее честятъ старшіе! А Семенъ Елизаровичъ нѣсколько минутъ анализировалъ Кузьму Андреича: какой у него лобъ маленькій, глаза глядятъ какъ у идіота... О-о, какъ зрачки расширились. Должно быть, ему непріятно, что сестра пошла въ модистки. Несчастный, бѣдный чиновникъ! что изъ тебя выйдетъ?—помощникъ столоначальника и только. Онъ немножко задоренъ. Дай-ка я его подзадорю.

Но подзадорить ему не удалось, такъ-какъ стали

*

спускаться подъ-гору. Подулъ рѣзкій вѣтеръ и Семенъ Елизаровичъ закрылся плотнѣе. Поѣхали узкой улицей. Семенъ Елизаровичъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на маленькіе домики съ высокими крышами, построенными, повидимому, безъ всякаго плана; его удивляло то, что въ городѣ многіе дома до того занесены снѣгомъ, что ихъ почти не видно; ему сдѣлалось страшно, потому-что онъ ѣхалъ по такой мѣстности, гдѣ, какъ говорили въ городѣ, особенно въ высшемъ кругу, жили воры и разбойники.

— Правда ли, что здѣсь живутъ разбойники?— спросилъ онъ Кузьму Андреича.

— Я не знаю. Впрочемъ, мнѣ случалось возвращаться отъ сестры по ночамъ, и меня никто не грабилъ.

— Ну, да вы... Вѣдь у васъ взять нечего, къ тому же здѣсь живетъ ваша сестра.

Подъѣхали къ дому Удинцова. Съ большими усиліями кучеръ Платонова и Кузьма Андреичъ отворили ворота, кое-какъ повернули во дворѣ лошадь съ возкомъ. На крыльцо вышла Татьяна Савельевна и казалась очень недовольна тѣмъ, что въ ихъ дворъ въѣхалъ барскій возокъ.

— Могли на улицѣ торчать—невидаль какая! Пошли со двора!—кричала она.

Ей было досадно, потому-что въ эту слободу никто еще не пріѣзжалъ на барскихъ лошадяхъ, и теперь, пожалуй, ихъ, Удинцовыхъ, станутъ попрекать тѣмъ, что они знаются съ господами.

— Позвольте вамъ объяснить, что мы пріѣхали за больной.

— Нешто у насъ лазаретъ? А коли кто нездоровъ, такъ дѣло не ваше; мы и сами умѣемъ лѣчиться.

— Какая вы строгая!

— Нечего лясы-то разводить! Извольте убираться прочь отсель!

— Какъ грубъ и невѣжественъ этотъ народъ,— замѣтилъ Семенъ Елизаровичъ Кузьмѣ Андреичу.— Да, ее надо непремѣнно увезти. Гдѣ она живетъ?

— Кто еще васъ пуститъ? Можетъ, вы воры какіе?

— Я вотъ тебѣ дамъ воры!—крикнулъ кучеръ Платонова.

Въ это время Татьяна Савельевна захлопнула дверь и заперла ее изнутри задвижкой.

Семенъ Елизаровичъ злился и на молодую грубіянку, и на себя.

Кузьма Андреичъ вошелъ на крыльцо и сталъ стучаться въ дверь.

Наконецъ, дверь отворилась и на порогѣ показался самъ Удинцовъ. Онъ былъ босой, на немъ была ситцевая рубашка и синіе изгребные штаны. За нимъ стояла Татьяна Савельевна.

— Что жъ ты дура не пускаешь-то ихъ?—спросилъ старикъ Татьяну Савельевну.

— А зачѣмъ они безъ спросу во дворъ въѣхали? Кузьму-то Андреича я знаю, а этого не знаю.

— Пожалуйте.

Само собою разумѣется, что Платонова поразила обстановка комнатки и сама Дарья Андреевна, которая была и худа и блѣдна, но онъ не могъ воздержаться отъ улыбки при видѣ Ольги Герасимовны, которая хлопотала около больной: она привязывала къ пяткамъ ногъ больной тряпки съ хрѣномъ.

— Здравствуйте, Дарья Андреевна! Что это съ вами?—проговорилъ нѣжно, съ участіемъ Семенъ Елизаровичъ.

Дарья Андреевна протянула руку и проговорила:

— Нездоровится.

Ей сообщили, зачѣмъ они пріѣхали.

— Очень вамъ благодарна... Мнѣ, право, и дома хорошо.

— Но помилуйте, здѣсь холодно и сыро... Нѣтъ, мы васъ отвеземъ въ больницу, въ дворянское отдѣленіе... Мы пріѣхали въ возкѣ.

— Какъ знаете... Мнѣ теперь все равно... Только дома помирать лучше. Ольга Герасимовна, какъ вы?

— Конечно, я думаю, тамъ удобнѣе. Только какъ ты поѣдешь, мать моя, развѣ надѣнешь мужнину шубу?

— Нѣтъ, я дома останусь съ вами, бабушка.—И она подала руку доброй старухѣ.

Однако Дарью Андреевну уговорили. Кое-какъ она одѣлась съ помощью Ольги Герасимовны и брата; кое-какъ спустилась съ лѣстницы. Ее провожала Ольга Герасимовна, старикъ Удинцовъ и Татьяна Савельевна. Ольга Герасимовна плакала; остальные проклинали барина, вмѣшивающагося въ честныя семейства.

— Прощай, мать моя, выздоравливай поскорѣе,— рыдала старуха.

— Ольга Герасимовна, тамъ въ узелкѣ у меня есть деньги; возьмите ихъ къ себѣ,—сказала Дарья Андреевна.

Скоро они уѣхали. Больше ужъ Дарья Андреевна не видала старуху Мартынову.

Когда Дарью Андреевну сдали въ больницѣ смотрителю и когда ее уводили въ палату, Кузьма Андреичъ спросилъ смотрителя.

— Много ли будетъ стоить лѣченіе сестры?

— О, это пустяки! для Ипполита Аполлоновича мы и такъ будемъ лѣчить.

— Нѣтъ, я этого не хочу. Сколько вы берете въ сутки?

— По положенію слѣдуетъ тридцать пять копеекъ, потому-что будутъ требоваться лѣкарства... Но вы для чего же спрашиваете объ этомъ?

— Я буду самъ платить. Я, пожалуй, внесу теперь же три рубля.

— Какъ вамъ угодно.

— Послушайте, Кузьма Андреичъ: я вамъ этого не позволю. Вы вмѣшиваетесь не въ свое дѣло, обижаете насъ,—проговорилъ Семенъ Елизаровичъ.

— Чѣмъ?

— Тѣмъ, что хотите вносить деньги. Это наша прямая обязанность, потому-что вы человѣкъ бѣдный.

— Покорно васъ благодарю!.. Г. смотритель, потрудитесь взять деньги!—И Яковлевъ подалъ деньги смотрителю.

— Пожалуйста получите и отъ меня.—Семенъ Елизаровичъ тоже вынулъ изъ портмоне десятирублевую бумажку.

— Не безпокойтесь. Теперь достаточно и трехъ рублей. Подождите, г. Яковлевъ, я вамъ напишу росписку.

Смотритель ушелъ. Семенъ Елизаровичъ сталъ быстро ходить по комнатѣ.

— Вы теперь куда—къ намъ?

— Нѣтъ, къ дядѣ.

— Хотите, я васъ довезу?

Но Кузьма Андреичъ отказался. Семенъ Елизаровичъ холодно простился съ нимъ и уѣхалъ.

Получивши росписку, Кузьма Андреичъ отправился въ харчевню, гдѣ и закусилъ, а потомъ пошелъ къ Удинцову за вещами и деньгами Дарьи Андреевны. Ольга Герасимовна долго не давала ни того, ни другого, позвала старика Удинцова, и только по его совѣту отдала подъ росписку Кузьмы Андреича деньги Дарьи Андреевны и узелъ. Къ дядѣ онъ не пошелъ. На другой день дядя позвалъ его въ свой кабинетъ въ палатѣ.

— Какое право ты имѣлъ вносить деньги за свою сестру? Кто тебѣ далъ право соваться туда, гдѣ тебя не спрашиваютъ? А?!—спросилъ онъ строго Кузьму Андреича.

— Она сестра мнѣ.

— Знаю... Знаю я также и то, что твое жалованье не велико. Можетъ-быть, у тебя есть доходы? Смотри, братъ!.. Я хоть и дядя тебѣ, а не потерплю взяточника. И если ты еще разъ осмѣлишься вносить деньги—я приму мѣры строгости.

— Какъ вамъ угодно.

— Что такое?

— Какъ вамъ угодно.

— Извольте сегодня и завтра дежурить въ отдѣленіи и списать мнѣ формуляры о службѣ столоначальниковъ. Молокососъ!..

Сильно расходился дядя, даже дошелъ до свирѣпости, но выходя изъ палаты приказалъ ему прійти вечеромъ съ бумагами, транспарантомъ, линейкой и перьями. Хотя у дяди онъ пилъ чай и ужиналъ съ нимъ за столомъ, но обиды, нанесенной ему дядей, не могъ ему простить. Онъ бы и теперь сталъ искать другой службы, но въ отдѣленіи открывалась вакансія помощника бухгалтера, и дядя въ этотъ же вечеръ пообѣщалъ ему эту должность.

XXVIII.

Въ больницѣ болѣзнь Дарьи Андреевны усилилась. Хотя ей и давали лѣкарства, лѣчили ее молодые доктора, недавно выпущенные изъ университетовъ, но болѣзнь все болѣе и болѣе принимала серьезный характеръ, такъ-что доктора заключили, что она умретъ. Въ палатѣ, гдѣ она лежала, кромѣ нея, была только одна больная старушка. У этой больной недавно отпилили ногу. А такъ-какъ въ палатѣ больныхъ было только двѣ женщины, то присмотръ за ними былъ плохъ: сидѣлка хотя и была, но она большую часть дня проводила въ другихъ палатахъ, гдѣ было больше больныхъ женщинъ, и въ которыя она была тоже назначена служить. Поэтому посѣщенія Кузьмы Андреича приходились кстати. Онъ приходилъ въ сутки два раза: утромъ и вечеромъ, наблюдалъ правильно ли его сестра принимаетъ лѣкарства, самъ поилъ ее ими, устраивалъ припарки и т. п. Хотя доктора и говорили ему, что выздоровленіе его сестры сомнительно, но онъ отчаянію не предавался, и по окончаніи срока снова внесъ за пребываніе въ больницѣ деньги за недѣлю впередъ. И надо правду сказать, что въ продолженіе трехъ съ половиной недѣль, въ теченіе которыхъ двадцать сутокъ Дарья Андреевна находилась въ безсознательномъ положеніи, ея никто не навѣстилъ ни изъ родни, ни изъ знакомыхъ. Ипполитъ Аполлоновичъ и старикъ Платоновъ только собирались, но не могли выбрать свободнаго времени, чтобы съѣздить въ больницу; Семенъ Елизаровичъ разъѣзжалъ по разнымъ помѣщикамъ; Анна Николаевна и Телѣжникова ѣхать туда боялись, чтобы не заразиться лихорадкой. Правда, Анна Николаевна однажды пріѣзжала въ больничную церковь съ Телѣжниковой, но онѣ такъ усердно молились, что, уже возвращаясь домой, вспомнили, что хотѣли навѣстить больную. Ни объ Удинцовыхъ, ни объ Ольгѣ Герасимовнѣ, ни о г-жѣ Петерсонъ Кузьма Андреичъ ничего не слыхалъ. Итакъ, Дарью Андреевну всѣ оставили, кромѣ брата; къ ней не пускали даже Марью Андреевну подъ опасеніемъ, что она принесетъ на себѣ заразу; идти же туда секретно она не могла, потому-что Анна Николаевна или заваливала ее работой, или она должна была занимать своего жениха, который былъ черезчуръ ужъ молчаливъ.

Тутъ не мѣшаетъ сказать кое-что и о сестрѣ Дарьи Андреевны. Жизнь у почтеннаго дядюшки показалась ей такъ сладка, что у нея явилось непреодолимое желаніе какъ можно скорѣе убѣжать отъ него куда-нибудь; но она была женщина неразвитая, у нея не было рѣшимости, она не знала куда ей бѣжать. Домой ей не хотѣлось; ей было тамъ противно по двумъ причинамъ: первая была та, что она должна была жить съ мачехой, а другая,—что, какъ извѣщала ее мачеха, бывшій ея женихъ Павловъ, женившись на мѣщанкѣ, сдѣлался теперь славнымъ человѣкомъ: водки не пьетъ, одѣвается хорошо и перешелъ на службу въ магистратъ секретаремъ. Ей было очень досадно, что она не вышла замужъ за Павлова; она на него злилась за то, что онъ надулъ ее. Теперешній же женихъ ей опротивѣлъ. Ему хотя и было подъ тридцать лѣтъ, но лицо у него было корявое, обрюзглое, волосы жидкіе, свѣтлорусые; говорилъ онъ негромко, пришепетывая, одѣвался какъ-то небрежно,—однимъ словомъ, во всей его фигурѣ и въ движеніяхъ много было отталкивающаго. Хотя Марья Андреевна насчетъ фигуры своего жениха была не очень требовательна и знала, что у него есть домъ, и онъ, какъ женится на ней, получитъ должность, но ей не нравилось то, что отъ него постоянно пахло водкой и онъ постоянно молчалъ. И чѣмъ дальше тянулось время, тѣмъ онъ становился ей противнѣе. Она написала брату Осипу Андреичу, котораго умоляла принять ее къ себѣ, но черезъ трое сутокъ послѣ отправки этого письма къ дядѣ пріѣхала съ визитомъ Мареа Антоновна. Марья Андреевна хотѣла спросить ее насчетъ письма, но ее скоро отослали въ ея комнату.

Когда ушла отъ дяди Мареа Антоновна, Марья Андреевна замѣтила, что дядя былъ очень сердитъ. Онъ долго ворчалъ: «черти! свиньи! Обо всѣхъ васъ хлопочи! Вотъ навязалась роденька-то!». Но изъ этихъ

отрывочныхъ словъ Марья Андреевна ничего не поняла; Анна же Николаевна сидѣла съ заплаканными глазами и, часто вздыхая, говорила: «малютокъ жалко. У нихъ вѣдь, поди, ничего нѣтъ».

— Дяденька, отпустите меня къ брату Осипу Андреичу,—сказала Марья Андреевна робко.

— Это еще что за выдумки? Пошла отсюда въ свое гнѣздо! Скоты!

— Дяденька, я не хочу замужъ.

— Это мы увидимъ! Экъ нашли дурака! всѣхъ что ли я долженъ кормить? Вы благодарности не чувствуете въ себѣ.

— Я не хочу замужъ.

— Свинья! пошла въ свою комнату!—проговорилъ дядя съ побагровѣвшимъ отъ злости лицомъ.

Марья Андреевна ушла и разрыдалась. Ея не тревожили, изъ дому не гнали. А какъ бы она была рада, если бы ее выгнали; она пошла бы къ Кузьмѣ, взяла бы у него денегъ и поѣхала бы къ брату. Ей больно стало, что ее обругалъ дядя свиньей. И жизнь до того казалась ей гадкою, что она задумала удавиться. Она заперла дверь на замокъ и по обыкновенію спрятала ключъ подъ подушку, потому-что боялась, чтобы къ ней не пришелъ ночью дядя, такъ какъ онъ иногда днемъ заходилъ къ ней и ласкалъ ее; потомъ сняла со стѣны зеркало, обмотала вокругъ шеи бичевку и встала на стулъ, чтобы другой конецъ завязать на гвоздѣ. Въ это время (дѣло было ночью) вдругъ отворяется дверь и въ комнату входитъ въ ночной одеждѣ Анна Николаевна. Она вошла такъ тихо, что если бы не скрипнула дверь, Марья Андреевна не слыхала бы ея прихода.

Дѣло въ томъ, что Анна Николаевна имѣла отъ двери этой комнаты другой ключъ. Она была до того подозрительна и труслива, что по ночамъ обходила весь домъ, и когда у Марьи Андреевны не было въ комнатѣ огня, она, если изнутри не былъ вложенъ въ замокъ ключъ, отпирала дверь и смотрѣла, тутъ ли Марья Андреевна.

Какъ разъ въ то время, какъ Анна Николаевна отворила дверь, комнату освѣтила луна, и Анна Николаевна увидала свою племянницу нагнувшеюся. Она струсила, но тотчасъ же встала на стулъ, рванула бичевку—и бичевка соскочила съ гвоздя. Марья Андреевна сошла со стула и сѣла на кровать.

— Что это такое! Что это такое! Царица небесная!—вопила Анна Николаевна, потомъ подошла къ двери, крикнула Ипполита Аполлоновича и зажгла свѣчку.

— Ахъ, Боже мой, напасть какая!—стонала Анна Николаевна. Съ Марьей Андреевной сдѣлался жаръ; она ничего не понимала, что происходило, и сидѣла съ дикими глазами. Пришелъ Ипполитъ Аполлоновичъ.

— Что такое?—спросилъ онъ въ испугѣ.

— Полюбуйтесь!—И Анна Николаевна подвела къ племянницѣ супруга.

Тотъ посмотрѣлъ и затрясся такъ, что уронилъ бывшій у него въ рукахъ длинный чубукъ. Стукъ вывелъ изъ оцѣпенѣнія Марью Андреевну, она вздрогнула, привстала... но дядя, ухвативъ ее за платье, размоталъ бичевку.

— Негодница! Собака захотѣла собачьей смерти... Жалко, что я тебѣ не отецъ: задалъ бы я тебѣ баню!—и онъ толкнулъ ее на кровать.

— Ее надо въ полицію отправить.

— А вотъ посмотримъ!—И онъ ушелъ.

Марья Андреевна лежала въ безпамятствѣ. Немного погодя, Яковлевъ привелъ въ комнату племянницы своего кучера и велѣлъ ему спать тутъ на полу у дверей.

— Съ ней горячка. Завтра мы ее свеземъ въ больницу,—сказалъ Яковлевъ дворнику.

На другой день и Марья Андреевна поступила въ больницу; ее помѣстили въ ту же палату, гдѣ лежала ея сестра. О томъ, что она хотѣла удавиться или повѣситься, Яковлевы никому не сказали. Въ это время Дарья Андреевна находилась уже въ сознательномъ состояніи, только была очень слаба. Ее очень удивило появленіе сестры въ больницѣ, но Марья Андреевна съ своей стороны была такъ слаба, что она ее не стала разспрашивать, а только просила Кузьму Андреича, чтобы онъ и за сестрой ухаживалъ такъ же, какъ и за ней.

Наконецъ, Дарью Андреевну навѣстила Эмилія Карловна. Она пришла въ воскресенье. На ней было надѣто черное платье. Сама она похудѣла, щеки поблѣднѣли.

— Какъ дѣла, Эмилія Карловна?—спросила ее Дарья Андреевна.

— О, Дарья Андреевна! дѣла мои очень плохи.

— Какъ такъ?

— Такъ. Какъ только вы захворали, все пошло вверхъ дномъ. Софью Васильевну послѣ ея каверзъ я уже не хотѣла больше брать... Я, видите ли, все думала, что вы скоро выздоровѣете, и хотѣла, да и теперь хочу васъ сдѣлать главной мастерицей... Кроить дѣло пустое. Пойдете?

— Я еще не совсѣмъ выздоровѣла и думаю, что пролежу здѣсь еще недѣли двѣ.

— Боже мой, какъ долго! Нельзя ли раньше? Я васъ помѣщу у себя въ квартирѣ.

— Благодарю. Только я должна поправиться, а то опять могу захворать.

— Ну, я васъ не принуждаю. Однако эти доктора!... А у меня теперь хорошенькая квартира.

— Какъ, вы развѣ уже на другой? Вѣдь вы на прежней, какъ говорили, жили долго.

— Что дѣлать, Дарья Андреевна. Вы, я думаю, сами видѣли, что на этой квартирѣ мнѣ не везло.

— Полноте, Эмилія Карловна? У васъ работы всегда было такъ много, что жить бы можно было, и очень. Вѣдь вы, кромѣ вашего магазина, имѣли еще мужа и сына, которые жили, кажется, не на вашъ счетъ.

— Ничего вы не знаете въ этихъ дѣлахъ, потому такъ и судите.—И она разсказала о своихъ долгахъ, о плутняхъ швей, и въ особенности Софьи Васильевны, но объ отношеніяхъ своего мужа къ сыну и наоборотъ ничего не сказала; потомъ прибавила:—а я теперь уже думаю иначе устроить магазинъ: я хочу пригласить маленькихъ дѣвочекъ и подъ вашимъ присмотромъ научить ихъ шитью. Современемъ изъ нихъ сдѣлаются хорошія швеи. Я уже штукъ пять подыскала.

— А какъ здоровье Адольфа Яковлевича?

— Охъ!—Эмилія Карловна махнула рукой и тяжело вздохнула.

— Что, онъ боленъ?

— Хуже—съ ума сошелъ: онъ уѣхалъ въ другой городъ. Теперь я живу съ сыномъ.

Проговоривши это, госпожа Петерсонъ распрощалась съ Дарьей Андреевной и ушла.

Предложеніе госпожи Петерсонъ показалось Дарьѣ Андреевнѣ выгоднымъ. Прежде она находилась у Петерсонъ какъ швея, которою помыкали какъ хозяйка, такъ и главная мастерица. Хозяйка была съ ней вѣжлива, потому-что она была хорошая работница; зато ея не любила Софья Васильевна, видѣвшая въ ней соперницу. Софья Васильевна хотя и командовала надъ дѣвицами, но она не имѣла надъ ними такой власти, какая теперь предоставлялась Дарьѣ Андреевнѣ. Теперь Дарья Андреевна могла зависѣть только отъ хозяйки; оставалось одно—будетъ ли она платить хорошо деньги? Не будетъ ли она и ее такъ же надувать, какъ надувала Софью Васильевну? Однако ей предложеніе госпожи Петерсонъ понравилось, потому-что до ея посѣщенія она крѣпко задумывалась надъ тѣмъ, чѣмъ она будетъ заниматься по выходѣ изъ больницы; а идти ей опять къ Петерсонъ не хотѣлось. Братъ же ей о своемъ планѣ ничего не сообщалъ.

Прошла еще недѣля. Дарья Андреевна уже начала ходить, но была еще слаба, почему ее и не выпускали изъ больницы. Кузьма Андреичъ внесъ деньги за обѣихъ сестеръ. Марья Андреевна тоже стала поправляться.

Дарья Андреевна не могла понять: отчего съ ея сестрой случилась болѣзнь? Ей помнится, что она никогда не хварывала такъ; но спросить было какъ-то неловко, потому-что сестра съ каждымъ днемъ становилась съ ней холоднѣе. Наконецъ, на другую недѣлю, послѣ того какъ былъ въ больницѣ братъ, разговаривавшій съ сестрой по секрету у окна и потомъ ушедшій не простившись съ ней, она рѣшилась спросить ее какъ о причинахъ ея болѣзни, такъ и о томъ, за что на нее разсердился братъ. Когда Марья Андреевна легла спать, она спросила ее.

— Ты отчего же это захворала-то?

— А тебѣ какое дѣло?

— Мнѣ любопытно знать, потому-что ты всегда была здорова.

Сестра молчала.

— Можетъ-быть, ты простудилась?

— Нѣтъ.

— Можетъ-быть, съ женихомъ не ладишь, и онъ тебя оскорбилъ? Ужъ не побилъ ли онъ тебя заблаговременно до свадьбы?

— Глупости!

— А, теперь понимаю!

— Ничего ты не понимаешь. Отчего я захворала, этого не скажу никому въ свѣтѣ.

Дарья Андреевна задумалась. Ей вдругъ подумалось: «ужъ не родила ли она тайно? Вѣдь она могла родить мертваго или недоноска у какой-нибудь старухи-бабки». Это ей подумалось въ виду того, что братъ разсердился на нее. И ей показалось неловко дальше разспрашивать сестру насчетъ ея болѣзни. Однако ей все-таки хотѣлось удовлетворить свое любопытство.

— На тебя, сестричка, кажется братъ за что-то разсердился?

— Это тебѣ показалось.

— Нѣтъ, это видно.

— А ты что за допросчица?.. Завтра же буду просить поставить мою кровать на другое мѣсто.— И сказавши это, она отвернулась.

Однако просьбу ея не уважили, а сказали, что если она хочетъ, то можетъ выписаться. Это до того встревожило Марью Андреевну, что она цѣлый день пролежала въ кровати и ничего не ѣла.

Дарьѣ Андреевнѣ жалко стало сестру. Она подошла къ ней, обняла ее и проговорила:

— Милая моя сестричка, не раздражайся такъ: вѣдь ты еще не совсѣмъ оправилась отъ болѣзни.

— И умру! Околѣю. Господи, что это за жизнь? И зачѣмъ это тетка помѣшала мнѣ?—проговорила она, рыдая.

— Ну, успокойся, сестричка. Зачѣмъ вспоминать старое?

— А ты развѣ знаешь?—съ испугомъ спросила Марья Андреевна свою сестру.

— Хотя я и не знаю ничего и теперь не желаю знать твоей тайны, но все-таки догадываюсь, что у васъ съ теткой вышло что-то неладное.

— Ужъ я теперь ни за что къ нимъ не пойду жить. Ужъ лучше повѣситься!

— Какія ты говоришь глупости, сестра. Вотъ когда мы выздоровѣемъ, ты будешь жить со мной. Петерсонъ, какъ ты знаешь, приглашаетъ меня къ себѣ главною мастерицею. Тогда я буду получать жалованье уже не за штуку, а помѣсячно. Тогда я и тебя могу пристроить или къ Петерсонъ, или куда-нибудь въ другое мѣсто, а жить мы будемъ вмѣстѣ.

— Я согласна, сестрица, на все, только вотъ, какъ бы мнѣ достать салопъ отъ дяди?

— Очень просто—приди и возьми. Вѣдь ты ничего у нихъ худого не сдѣлала?

— Ничего. Только мнѣ туда идти не хочется.

— Ну, я схожу за тебя. Я вѣдь не изъ робкихъ.

И такъ сестры подружились. Дарья Андреевна порѣшила на томъ, что, вѣроятно, ея сестра поругалась съ Анной Николаевной, а та или дядя побили ее, а можетъ быть, не давали ѣсть,—вотъ она и захворала.

Наконецъ, наступила шестая недѣля великаго поста. Сквозь стекла оконъ, выходящихъ во дворъ, въ которомъ кое-гдѣ росли кустики сирени, яблоней, березокъ, видно было, что тамъ уже снѣгу не было, а земля мѣстами или была бураго цвѣта, или кое-гдѣ пробивалась уже зелень. Небо было чистое, бѣлоголубое, на немъ стояло солнце, которое, впрочемъ, эту палату не освѣщало. Больныя женщины казались бодрыми, у нѣкоторыхъ даже показывался на щекахъ легкій румянецъ, онѣ чувствовали нѣгу; но въ двѣ ночи на этой недѣлѣ скончались двѣ чахоточныя молодыя женщины, и въ комнатѣ настала скорбь и тишина. Цѣлыхъ трое сутокъ женщины говорили шопотомъ. Нѣсколько женщинъ, почувствовавъ весну, выписались. Подумывали выписаться и наши сестры. Но ихъ все

удерживалъ братъ, ссылаясь на сырость. Наконецъ, уже на послѣдней недѣлѣ, онъ очень опечалилъ ихъ, и имъ пришлось волей-неволей выписаться.

Приходитъ онъ въ обѣдъ, взволнованный. Сѣлъ на кровать Дарьи Андреевны и ничего не сказалъ, а только поцѣловалъ сестеръ. Дарья Андреевна и раньше замѣчала, что съ нимъ что-то происходитъ, но тогда онъ былъ все-таки разговорчивъ. Дарья Андреевна и сестра замѣтили въ братѣ перемѣну: во-первыхъ, онъ сталъ приходить къ нимъ рѣже и рѣже и, наконецъ, приходилъ только по воскреснымъ днямъ, да и то уходилъ черезъ полчаса; во-вторыхъ, онъ сдѣлался задумчивъ, и въ-третьихъ, уже не приносилъ имъ ни чаю, ни сахару, ни булокъ и не давалъ имъ ни гроша денегъ, ссылаясь на то, что у него нѣтъ.

— Что съ тобой, братчикъ?—спросила Дарья Андреевна.

— Прекрасныя дѣла! Отгадай?

— Что, тебя обокрали, что ли?—спросила съ испугомъ Дарья Андреевна.

— Получше: я не служу двѣ недѣли въ палатѣ.

— Неужели!!—вскрикнули сестры.

— Да, это вѣрно. Меня выгнали.

— Кто?

— Почтенный дядюшка, Ипполитъ Аполлоновичъ, которому я, впрочемъ, когда-то чистилъ сапоги.

— Но какъ? за что? Вѣдь это ужасно!—говорили сестры.

— Очень просто. Онъ на меня началъ злиться еще съ того дня, какъ я тебя свезъ въ больницу. Я, не желая одолжаться дядѣ, внесъ за тебя деньги. Это видѣлъ Сеничка, которому очень хотѣлось быть благодѣтелемъ, и, разсердившись на меня, сказалъ дядѣ. Дядя меня такъ распушилъ, что заставилъ дежурить въ палатѣ, но потомъ простилъ. Деньги вносилъ я заблаговременно. Разъ дядя посылаетъ меня съ деньгами къ смотрителю больницы. Я и говорю: деньги я уже внесъ. Какъ онъ побагровѣлъ и закричалъ: «какъ ты смѣешь, негодяй, вмѣшиваться не въ свое дѣло! Ты взяточникъ!». Я говорю, что сестры мнѣ ближе, чѣмъ ему. Раскричался ужасно. Я послѣ этого сталъ проситься въ другое отдѣленіе — не принимаютъ. Наконецъ, смотрю росписаніе жалованья, мнѣ поставлено не 13 рублей, а только 6. Я пошелъ объясняться—выгналъ. Ну, дѣлать нечего, сталъ я заниматься усидчивѣе. На слѣдующій мѣсяцъ онъ спрашиваетъ меня: вносилъ я за васъ деньги или нѣтъ. Я сказалъ, что нѣтъ, потому-что не изъ чего и меня обидѣли жалованьемъ. «А, говоритъ, опомнился! Я васъ всегда такъ буду учить! Я ото всѣхъ васъ отобью спѣсь. Отнеси деньги и принеси росписку, что деньги внесены отъ меня, совѣтника такого-то». Въ этотъ мѣсяцъ я получилъ всѣ 13 рублей и совѣтникъ былъ со мною вѣжливъ, спрашивалъ объ васъ, и я попрежнему таскалъ его портфель изъ дому и изъ палаты. Наконецъ, открывается въ отдѣленіи вакансія, я прошу. И что же? «Я, говоритъ, батюшка, какъ ты знаешь, даромъ должностей никому не даю. Хоть ты и племянникъ мнѣ, но я и тебѣ не могу дать даромъ должность, хотя и обѣщалъ». Помилуйте, говорю я, помилуйте, ваше высокородіе!..

— Какъ, ваше высокородіе?—спросила Дарья Андреевна.

— Тутъ выходитъ по пословицѣ: родня—родней, служба—службой. Дома я его зову дяденькой, а на службѣ—по его должности. И онъ такъ же: дома называетъ Кузьмой, а на службѣ г. Яковлевымъ. Ну-съ, я и говорю, что у меня денегъ нѣтъ. «А за сестеръ, говоритъ, платить были деньги? А, впрочемъ, говоритъ, приходи ко мнѣ сегодня вечеромъ». — Кузьма остановился и сурово взглянулъ на Марью Андреевну такъ, что она покраснѣла.

— Ну, и что же?

— Вышло дѣло скверное, и я, зная твой, Дашенька, настойчивый характеръ, испортилъ свою карьеру, то-есть, не хотѣлъ цѣною твоей и Машиной жизни купить должность.

— Это еще что за штуки?!—воскликнула Дарья Андреевна съ негодованіемъ.

— Призвалъ онъ меня въ кабинетъ,—продолжалъ братъ: — усадилъ на диванъ, велѣлъ пить чай, потомъ и говоритъ: если Дарья согласится жить у меня и дѣлать то, и если Машка,—слышите—Машка!—не будетъ дурить и на Ѳоминой недѣлѣ выйдетъ замужъ за предназначеннаго ей жениха, Соколова, который хотя и пьяница, но дѣлецъ и имѣетъ уже два чина...

— Вотъ мило! Да я теперь ни за что не стану у него жить,—проговорила запальчиво Марья Андреевна.

Братъ подошелъ къ ней и что-то шепнулъ на ухо. Марья Андреевна покраснѣла, но скоро оправилась и проговорила не громко.

— Врутъ!

— Можешь жаловаться, если врутъ? Эго, значитъ, клевета?

Марья Андреевна ничего не сказала.

— Что, небось, правда! Ну, дядя и говоритъ: «такъ ты и скажи своимъ сестрамъ». Я и говорю, что едва ли онѣ согласятся. «А вотъ, говоритъ, посмотримъ, есть ли еще у нихъ паспорты?». А паспорты ваши я досталъ давно, ихъ спросилъ смотритель больницы, и я ихъ выписалъ и они теперь хранятся у смотрителя. Я говорю, паспорты есть. «Гдѣ?». У смотрителя. «А, хорошо, я вижу, что и ты поступилъ въ либералы. Пошелъ вонъ». Я вышелъ и на другой же день подалъ въ отставку. И что же вы думаете? Вѣдь онъ ѣздилъ въ больницу и требовалъ ваши паспорты, но смотритель ему ихъ не далъ. За это ему—вѣроятно по проныр-ству дяди—приказано выйти въ отставку. Поэтому вамъ надо сегодня же проситься на выписку, чтобы взять паспорты, а то, пожалуй, дядя ихъ похититъ, и тогда васъ пошлютъ въ Ильинскъ по этапу.

— Да мы совсѣмъ здоровы, и если бы не ты насъ удерживалъ здѣсь, мы бы давно уже выписались.

— Я потому ничего вамъ не говорилъ до сихъ поръ, что я тогда былъ безъ мѣста. А теперь я поступилъ въ уголовную палату, и мнѣ обѣщались дать за первый мѣсяцъ десять рублей. Кромѣ того, я искалъ квартиру въ двѣ комнаты, чтобы намъ поселиться всѣмъ вмѣстѣ.

— Я пойду опять къ г-жѣ Петерсонъ и можетъ быть мнѣ удастся помѣстить туда и Машу.

— Это хорошо. А знаете новость: вѣдь Марѳа-то Антоновна не живетъ съ мужемъ.

— А дѣти?

— Дѣти при ней. Она теперь живетъ на Петербургской улицѣ и живетъ, кажется, на средства чиновника особыхъ порученій, который, говорятъ, ѣздитъ къ ней.

— Бѣдный братъ!—замѣтила Дарья Андреевна.

— Да онъ очень несчастливъ: онъ попалъ подъ судъ за какія-то истязанія.

Кузьма Андреичъ сообщилъ еще, что Зиновьева поймали, и онъ теперь сидитъ въ городской тюрьмѣ, и потомъ, сказавши своимъ сестрамъ адресъ своей квартиры, ушелъ. На другой день, сестры распрощавшись съ больными женщинами и получивши свои паспорты, выданные на жительство во всѣхъ мѣстахъ имперіи, вышли изъ больницы.

XXIX.

Несмотря на то, что Дарья Андреевна пробыла въ больницѣ только три мѣсяца, ей показалось, что она и дышетъ легче, и ходитъ свободнѣе, и воздухъ лучше, какъ-будто она не дышала этимъ чистымъ весеннимъ воздухомъ Богъ знаетъ сколько лѣтъ; однимъ словомъ, ей казалось, что она вышла изъ какого-то несвободнаго міра въ міръ свободный, гдѣ дѣлай, что̀ хочешь. Ей казалось, что она эти три мѣсяца находилась въ неволѣ, въ заключеніи, гдѣ надъ нею было начальство—смотритель, доктора, фельдшера, сидѣлка, гдѣ она носила казенную одежду, похожую не то на арестантскую, не то на солдатскую, гдѣ и ѣсть давали мало, и будили звонкомъ. По звонку она ѣла, по звонку должна была ложиться спать, потому-что въ больницахъ своихъ свѣчей жечь не дозволяли, казенныхъ тѣмъ болѣе не полагалось, а въ каждой палатѣ горѣла только лампочка, которая гасла къ часу ночи. Да если бы и горѣли свѣчки, что̀ бы она стала дѣлать? Шить ей было нечего, читать—неоткуда взять книгъ. Правда, она просила брата записаться на мѣсяцъ въ библіотеку на ея деньги, но тотъ, назвавъ это намѣреніе глупостью, сказалъ, что деньги ей пригодятся на что-нибудь другое. Кромѣ этого, живя въ больницѣ, она знала очень мало, что̀ дѣлается въ мірѣ свободномъ, потому-что братъ сообщалъ очень мало новостей, и только вотъ вчера она узнала о несчастіи, постигшемъ старшаго брата. Въ больницѣ ей приходилось сосредоточиваться, она сдѣлалась задумчива и чувствовала, что у нея какъ-будто мысли не клеятся.

Но вотъ теперь она опять на свободѣ. И какъ пріятно, легко дышется! Солнце свѣтитъ не ярко, но хорошо, небо чисто; тепло; на деревьяхъ кое-гдѣ появляются почки, кое-гдѣ чирикаютъ въ садахъ птички, кое-гдѣ въ домахъ учатся пѣть молодые соловьи. Все было хорошо, только грязно. И на людей какъ-то пріятно смотрѣть, а народъ попадается все свой же братъ, рабочій человѣкъ. Вонъ ѣдетъ водовозъ въ испластанномъ полушубкѣ, въ шапкѣ, имѣющей видъ горшка; нещадно онъ билъ свою лошадь, ругая ее. Но лошадь идти не можетъ, потому-что переднія колеса завязли въ ухабѣ. Онъ слѣзаетъ съ задка дрогъ, смотритъ на увязшія колеса и ругается: «о чтобъ вамъ, проклятые! Взыски съ насъ берете, а это что? Когда вы всѣ передохнете!..» И потомъ, увидѣвъ попавшагося ему навстрѣчу мастерового, проситъ его помочь ему вытащить колеса.

— Некогда, и такъ запоздалъ—штрафъ будетъ.

— Да помоги, Христа ради! Ты знаешь, я только этимъ и кормлюсь, а какъ привезу не во время—другого возьмутъ...—Мастеровой засовываетъ ломъ подъ передокъ дрогъ, а водовозъ, помогая ему, говоритъ:—Жиды проклятые! Деньги берутъ, а это что?..

Вонъ идетъ торговка. На коромыслѣ у нея навѣшано много всякаго добра: тутъ есть молоко и сливки, и ведро картофеля, и свѣжій зеленый лукъ. Все бы это было не подъ силу нашимъ сестрамъ, но торговка, несмотря на грязь, идетъ бойко, и когда прошла мимо сестеръ, поворотивши коромысло для прохода, какъ-то гордо-презрительно взглянула на нихъ. И много, много попалось имъ этого пѣшаго рабочаго люда. Попадались имъ и пьяные мастеровые, солдаты и чиновники, но это были или горемыки, или спившіеся съ круга, махнувшіе на все рукой, которымъ уже послѣ разныхъ невзгодъ и работать не хочется и которые очень были бы рады, если бы померли. Но все-таки въ этихъ людяхъ высказывалась на что-то надежда, они требовали отъ кого-то помощи, что̀ замѣчалось изъ ихъ ругательствъ. Однако и про трезвыхъ нельзя было сказать того, чтобы они имѣли веселый видъ: въ ихъ лицахъ проглядывала усталость, либо изнеможеніе, либо какая-нибудь досада. Другое дѣло представляли ѣдущіе: въ ихъ лицахъ замѣчалось довольство и они какъ-то съ презрѣніемъ смотрѣли на бѣдный народъ и на пьяный—въ особенности. Хотя и радовалась Дарья Андреевна своему избавленію изъ больницы, но при видѣ бѣдныхъ людей у ней сжималось сердце при мысли о томъ, что ей снова нужно работать и быть въ зависимости. Кромѣ этого, ее безпокоило положеніе ея сестры: что̀ она будетъ дѣлать? Вѣдь она умѣетъ шить только на себя, да и то съ разными перешивками. Ей не нравилось, что братъ пригласилъ ихъ теперь, когда она, Дарья Андреевна, имѣетъ свои деньги, которыя хранятся у брата. Вѣдь она могла бы опять поселиться на старой квартирѣ. Оно хотя и далеко, но теперь лѣто, и тамъ будетъ хорошо, весело, а главное,—она будетъ жить съ такими добрыми людьми, какъ Удинцовы и Мартынова. «Жива ли эта добрая старушка?» подумала она, и ей почему-то сдѣлалось грустно.

— Какъ мнѣ, сестричка, ѣсть хочется!..—проговорила Марья Андреевна.

— А-а! Въ больницѣ-то насъ въ послѣднее время даромъ кормили. А вотъ, ты попробуй-ко кушать свой хлѣбъ.

— Трудно?

— Нѣтъ, ничего. Сначала трудно, а потомъ привыкнешь.

— А ты когда къ своей мадамъ?

— Сегодня.

— Какъ скоро!—ужаснулась сестра.

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Ты бы отдохнула.

— Мы и такъ много отдыхали. Я вотъ думаю,

что въ эти три мѣсяца я, пожалуй, совсѣмъ разучилась шить. Кромѣ этого, мнѣ не хочется жить у брата на хлѣбахъ.

— А если у твоей мадамы уже нанята другая мастерица?

Дарья Андреевна задумалась: «а что если въ самомъ дѣлѣ она наняла уже другую?.. Тогда мнѣ придется искать другого мѣста. Положимъ, что Эмилія Карловна аттестуетъ меня съ хорошей стороны, но найду ли я мѣсто? Придется, пожалуй, походить цѣлую недѣлю».

Чѣмъ больше шли сестры, тѣмъ больше удивляло ихъ множество вывѣсокъ съ разрисованными на нихъ бутылями, бутылками и рюмками и съ надписью: распивочно и на выносъ.

— Господи, сколько кабаковъ развелось!—проговорила Дарья Андреевна!

Марья Андреевна совсѣмъ ничего не понимала въ этомъ новомъ явленіи общественной жизни, но она тутъ видѣла интересъ должностнымъ людямъ.

— Какъ жаль, что папаша умеръ: теперь бы у него сколько было этого вина и доходовъ,—проговорила она.

— Какъ тебѣ, сестрица, не стыдно говорить объ этомъ? Ты обижаешь папашу, потому-что онъ въ дѣйствительности не былъ такой взяточникъ.

— Да ты взгляни: на каждомъ углу кабакъ, по середкамъ улицы тоже кабакъ, а прежде во всемъ-то городѣ много-много было десять кабаковъ.

— Вѣроятно теперь всякій можетъ свободно торговать. Вѣдь братъ говорилъ откупа, отобраны въ казну, да я и раньше читала, что откуповъ не будетъ. Значитъ, что печатаютъ, тому надо вѣрить.

— Ну ужъ!..

Наконецъ, онѣ пошли тѣмъ переулкомъ, въ которомъ жилъ ихъ братъ. Оказалось, во-первыхъ, что жительство брата находилось очень далеко отъ настоящей квартиры г-жи Петерсонъ, а, во-вторыхъ, переулокъ былъ далеко хуже той улицы, въ которой прежде братъ нанималъ комнату. Когда сестры проходили, то почти изъ каждаго новоотстроеннаго дома выглядывали на нихъ мужчины въ халатахъ или просто рубашкахъ и женщины, по одеждѣ принадлежащія къ чиновному и мѣщанскому классу, безъ работы въ рукахъ. А то, что здѣсь всѣ знаютъ другъ друга, замѣтно было изъ того, что когда Дарья Андреевна спросила одну высунувшуюся изъ окна женщину, гдѣ живетъ чиновникъ Яковлевъ, та не дала отвѣта, а полюбопытствовала сперва узнать: кто она такая.

— Я его сестра.

— И это ваша сестрица?—спросила женщина, лукаво улыбаясь.

— Да.

— Вы въ больницѣ изволили пребывать?

— Да.

— Знаю, знаю. Вашъ братецъ сказывалъ. Славный человѣкъ—онъ недавно рѣшилъ въ палатѣ дѣло въ мою пользу, да разбойникъ секретарь все перехерилъ. А вашъ братецъ вонъ въ третьемъ домѣ отъ насъ живетъ, вонъ противъ того дома, гдѣ кабакъ,—и она лукаво подмигнула.—А не вы ли изволили въ швеяхъ находиться?—спросила она, указывая на Марью Андреевну.

— Нѣтъ, это я. До свиданія,—сказала Дарья Андреевна и пошла.

— Дарья Андреевна!—крикнула женщина.

— Что угодно?

— Если будетъ время, заходите ко мнѣ: вы умѣете шить халаты?

— Я не шивала.

— Полноте. Мнѣ Матрешка Знобишина сказывала, что вы все умѣете шить.

— А вы развѣ ее знаете?

— Вотъ тѣ разъ, племянницу-то не знать! Она теперь въ кабакѣ торгуетъ.

— Какъ въ кабакѣ?

— А что же, матушка, дѣлать станешь? Нынче мѣста очень трудно достаются, а кабаковъ теперь страсть что завелось, потому теперь свободно можно торговать всякому. Ну, знаете, продажа водки—ремесло самое выгодное, ну, вотъ на него и кинулись всѣ, у кого есть мало-мальски деньги.

Наконецъ, онѣ подошли къ дому напротивъ кабака. Дверь въ кабакъ была отворена и оттуда слышались пѣсни нѣсколькихъ голосовъ. Домъ былъ полукаменный, но какъ замѣтно, въ нижнемъ этажѣ никто не жилъ, на окнахъ же верхняго этажа стояли банки съ цвѣтами: геранями, лимонами, бальзаминами, жасминами. За цвѣтами были привѣшены къ окнамъ кисейныя занавѣски. Когда наши сестры вошли во дворъ, то онъ почти наполовину былъ загроможденъ строевымъ лѣсомъ и досками. На заднемъ планѣ стояли срубы для погреба. Около этихъ срубовъ лежала большая бѣлая собака. Завидѣвъ новоприбывшихъ незнакомыхъ ей дѣвицъ, она кинулась на нихъ сперва съ рычаніемъ, потомъ съ лаемъ и, наконецъ, вцѣпилась въ платье Марьи Андреевны, и какъ только мотнула головой, такъ у ней въ зубахъ и остался большой кусокъ отъ платья. Дѣвицы взвизгнули. Но собака, не довольствуясь однимъ кускомъ, вѣроятно хотѣла воспользоваться другимъ, но къ счастью сестеръ, во дворѣ откуда-то явилась молодая женщина, которая, схвативъ палку, кинулась на собаку и прогнала ее прочь. На спросъ, что имъ нужно и узнавъ, кто онѣ, она сказала, что ихъ брата теперь дома нѣтъ, что братъ говорилъ ей объ нихъ и она, хозяйка дома, проситъ ихъ пожаловать къ ней, тѣмъ болѣе, что она съ мужемъ хочетъ обѣдать.

— Онъ не оставлялъ вамъ ключа?

— А вотъ я спрошу Корнила Савича. Да вы пожалуйте! Прошу покорно.

Сестры пошли за ней. Сначала пятью ступеньками поднялись въ сѣни. Тамъ были двое дверей.

— Вотъ гдѣ вашъ братецъ живетъ,—указала она на дверь налѣво.—Комнаты отличныя, особливо ваша въ три окна. Сами хотѣли занять, да въ кухню ходить далеко.

— А сколько онъ платитъ?—спросила Марья Андреевна.

— Больно мало—три рубля.

Онѣ вошли въ кухню. Въ ней было чисто, свѣтло такъ какъ два окна выходили на дворъ. Въ кухнѣ,

разумѣется, была русская печь и полати. Изъ кухни онѣ вошли въ чистую комнату, съ простою мебелью, изъ которой два стула были съ обгорѣлыми спинками, стѣны тесовыя, ничѣмъ еще неоклеенныя; тутъ былъ и ветхій клеенчатый диванъ и небольшое зеркальце, которое висѣло на простѣнкѣ между двухъ оконъ. Изъ этой комнаты шли двери въ другую комнату. Двери были заперты. Передъ диваномъ стоялъ крашеный столъ, уже накрытый съ приборомъ для двухъ персонъ; ложки были крашеныя, деревянныя.

— Это у насъ все: и зала, и гостиная, и столовая, а тамъ кабинетъ мужа и спальня. Покорнѣйше прошу. Безъ церемоніи. Скидывайте пальты-то,—говорила скоро хозяйка, и потомъ, подошедши къ двери, тихонько стукнула кулакомъ и проговорила:—Корнила Савичъ, пожалуйте!—и затѣмъ ушла въ кухню.

Немного погодя, изъ другой комнаты вышелъ въ ситцевомъ халатѣ, опоясанномъ полотенцемъ, человѣкъ средняго роста, худощавый, съ желтымъ продолговатымъ лицомъ, безъ бороды и бакенбардъ и съ свѣтлорусыми усами. На головѣ его была лысина, обрамленная свѣтлорусыми короткими волосами; глаза его были темнаго, неопредѣленнаго цвѣта и глядѣли сурово. На лицѣ замѣтны были слѣды горькой жизни; онъ часто морщилъ лобъ, при чемъ глаза его, бѣгавшіе очень быстро направо и налѣво, дѣлали его свирѣпымъ. На видъ ему было годовъ тридцать-пять. Но каково было удивленіе нашихъ сестеръ, когда онъ, подошедши къ нимъ, поздоровался съ ними за руки и проговорилъ сильнымъ басомъ:

— Здравствуйте, мадемуазели. Очень пріятно. Прошу покорно. Вы сестрицы Кузьмы Андреича? Очень, очень пріятно. Сашенька, что жъ ты долго копаешься?

— Сейчасъ, мой другъ, сейчасъ. Видишь, иду,— проговорила хозяйка, входя съ двумя тарелками и деревянными ложками и прибавила: — а вы ужъ извините: у насъ не то что серебряныхъ, а и оловянныхъ-то ложекъ нѣту.

— Лишь бы было ѣсть что, такъ все равно, чѣмъ не хлѣбать. Я того мнѣнія, что деревянными удобнѣе на томъ основаніи, что не жгутъ ротъ. Не такъ ли?

— Я тоже того мнѣнія,—сказала Дарья Андреевна.

— Прекрасно. Ну, какъ вамъ понравилась больница?

— Ничего. Только страшно скучно.

— Ну, тамъ еще по крайней мѣрѣ есть разношерстное общество,—общество, большею частію судящее здраво. Это общество—та масса бѣднаго люда, который живетъ своимъ трудомъ и работаетъ. Вѣдь дармоѣдъ туда не пойдетъ на томъ основаніи, что у него есть средства на уплату доктору. Но я думаю, вамъ не совсѣмъ понравилась больничная челядь?

— Да они, какъ видно, все дѣлаютъ не по охотѣ, а изъ-за денегъ.

— Не по призванію, а исполняютъ обязанности такъ, чтобы поскорѣе ускакать куда-нибудь на пирогъ.

Хозяйка подала тертую рѣдьку съ квасомъ.

— Мы хотя постовъ и не соблюдаемъ, но, знаете, все мясо да рыба надоѣстъ...—объяснила хозяйка.

— Душенька... денегъ нѣтъ,—проговорилъ хозяинъ тихо и растягивая.—Только вотъ что: васъ вѣдь тамъ кормили супами да щами скоромными,— пожалуй, это съ больничной пищи не годится.

— О, нѣтъ, я очень люблю тертую рѣдьку.

Хозяйка налила всѣмъ хлебова.

— А что жъ, того-съ развѣ не полагается?— спросилъ хозяинъ свою жену.

— Извините-съ,—принесу.

Хозяйка принесла косушку водки и стаканъ.

— Теперь водка стала несравненно дешевле прежней и лучше. А ужъ какъ это не нравится откупщикамъ! Говорятъ, они цѣлой сворой хотятъ подать государю прошеніе, чтобы имъ откупъ отдали за извѣстную сумму, и что даже готовы строить желѣзныя дороги. Но я думаю, изъ этого ничего не выйдетъ. Изъ газетъ видно, что правительство за настоящее дѣло стоитъ крѣпко.

— А вы читаете газеты?—спросила его Дарья Андреевна.

— Я беру и книги и газеты изъ библіотеки. Безъ чтенія жить нельзя, ужъ я лучше вотъ въ этомъ себѣ откажу...

— Не хвастайся, пожалуйста: безъ водки ты ничего и дѣлать не можешь,—вопила его жена.

— Что жъ дѣлать, милая, жизнь такая была.. И радъ бы не пить, да не могу.

— Вы служите гдѣ-нибудь?—спросила Дарья Андреевна хозяина.

— Нѣтъ. Я сочиняю разныя просьбы въ суды крестьянамъ и купцамъ. Но получаю за это среднимъ числомъ въ мѣсяцъ рублей двѣнадцать. Хорошо еще, что вотъ у моей благовѣрной есть домъ, а то бы намъ съ ней было плохо. Оно положимъ прежній-то домъ куда какъ плохъ, и хорошо, что онъ сгорѣлъ, потому-что мы получили пособія. Пособія-то эти были грошовыя, да еще вышелъ казусъ: вдругъ выдаютъ планы строить пятіоконные дома. А на какія спрашивается средства? Вѣдь на 75 рублей пятіоконнаго дома не выстроишь. Стали просить—еще выдали, но и этого мало, да и выдали-то не всѣмъ поровну. Вонъ тотъ господинъ, что напротивъ, гдѣ кабакъ (онъ мнѣ приходится кумомъ), выпросилъ пособіе въ пятьсотъ рублей. Ну-съ, вотъ нѣкоторые изъ нашихъ погорѣльцевъ и нарядили своихъ старухъ въ походъ къ гражданамъ и насобирали... Ну, а я еще передъ пожаромъ выигралъ въ гражданской палатѣ два дѣла и получилъ за каждое по триста рублей, а за вычетомъ двухсотъ, которые ушли на долги лавочникамъ и на уплату писцамъ и секретарю собственно отъ меня въ знакъ благодарности, у меня осталось четыреста, вотъ я купилъ лѣсу и съ осени сталъ строиться. А вотъ погребъ строить не на что.

— Отчего же пожаръ-то случился? — спросила Дарья Андреевна.

— А чортъ его знаетъ: кто говоритъ—отъ поджоговъ, кто говоритъ, что нѣкоторые домохозяева будто сами подожгли, кто говоритъ, что само загорѣлось на томъ основаніи, что время было жаркое.

Хозяйка принесла жаренаго картофеля. Хозяинъ допилъ остальную водку.

— Ну что, вы опять поступаете къ г-жѣ Петерсонъ?—спросилъ хозяинъ Дарью Андреевну.

— Да. Думаю.

— Нехорошая она женщина. Да и надо правду сказать, всѣ эти магазинщицы, вышедшія изъ бѣдныхъ швей,—мучительницы. Нѣтъ, вамъ не годится шить; вы уже надорвали себя этой каторжной работой. Надо поискать чего-нибудь другого. Чего бы? Да вотъ, поступайте-ка въ телеграфистки. Тамъ даютъ отъ 15 до 25 рублей жалованья въ мѣсяцъ.

— Я и приступиться къ этому дѣлу, не знаю какъ.

— Да тутъ еще нужно и языки знать—просто хоть азбуку. Виноватъ, я и забылъ, что тутъ требуется рекомендація. Вотъ вашъ братъ поссорился съ своимъ знаменитымъ дядюшкою-обдиралой, и хорошо сдѣлалъ. Но вы вѣдь другое дѣло? Вамъ бы попросить его.

— Я его тоже ненавижу.

— Ну, это напрасно, то-есть, я говорю, что его вашему брату, дѣвушкамъ, можно не любить, какъ нехорошаго человѣка или какъ какое-нибудь противное животное, но ненавидѣть его вполнѣ, какъ человѣка, нельзя: ему стоитъ только поцѣловать ручку, и онъ все проститъ, сдѣлается ласковъ, любезенъ и сдѣлаетъ для васъ все, что захотите.

— Ни за что.

— Да, я это вѣрно знаю. Подите вы къ нему и скажите: простите, дяденька, я была глупа, впередъ не буду,—и онъ проститъ.

— Какъ вамъ хочется говорить это?

— И прекрасно. Мы значитъ съ вами одного мнѣнія. Я самъ стою за эмансипацію. Вы, можетъ быть, замѣтили, что моя благовѣрная нисколько не похожа на другихъ женщинъ, которыя безъ мужа могутъ принять только любовника, а при мужѣ стыдятся выйти къ гостю—товарищу мужа. Она хотя и дворянскаго рода, а я семинаръ, однако сама стираетъ бѣлье, на рѣчку ходитъ, а зимой у колодца полощетъ. И когда идетъ по городу съ бѣльемъ, то чиновницы хохочутъ: смотрите, говорятъ, майорская дочка, г-жа Морозова, съ бѣльемъ идетъ на рѣку. Срамъ! А что жъ тутъ худого-то? Коли денегъ нѣтъ—не воровать же, да нанимать прачку да кухарку. Не такъ ли?

— Я съ этимъ согласна, — сказала Дарья Андреевна.

— Конечно, если бы у насъ были деньги, мы и не жили бы въ этой трущобѣ; мы жили бы на хорошей улицѣ, имѣли бы кухарку, прачку, лошадей...

— Полно тебѣ вздоръ-то говорить, — сказала жена.

Всѣ вышли изъ-за стола. По обыкновенію гости стали благодарить хозяевъ, начиная съ хозяина.

— У насъ благодарить не принято, а если ужъ вамъ такъ хочется благодарить, такъ благодарите ее, Сашу:—все это ея руками дѣлалось. Только вотъ хлѣбъ покупаемъ съ рынку, печь не умѣемъ.

Хозяинъ предложилъ гостьямъ и женѣ папироски, а самъ закурилъ коротенькую трубку. Дарья Андреевна стала помогать хозяйкѣ убирать посуду и мыть.

— Какой у васъ славный мужъ,—сказала она хозяйкѣ.

Щеки хозяйки покраснѣли.

— Да, мы съ нимъ ладимъ,—сказала она.

— Ну, а вы что думаете дѣлать? — спросилъ Морозовъ Марью Анреевну.

— Не знаю.

— Какъ же вы не знаете. Али къ дяденькѣ пойдете?

— Нѣтъ.

— Но вѣдь надо что-нибудь предпринять.

Марья Андреевна не знала, что ей отвѣтить, щеки ея зардѣлись.

— Саша, нѣтъ ли чаю?—спросилъ жену Морозовъ.

— Нѣту, мой милый,—отвѣчала жена.

— Вы бы намъ ключъ дали отъ квартиры,—сказала Марья Андреевна Морозову.

— Съ полнымъ удовольствіемъ.

Скоро сестры ушли въ квартиру брата.

Въ комнатѣ Кузьмы Андреича было попрежнему просто: тотъ же самый комодъ, на которомъ лежали тѣ же книги; тѣ же стулья, столъ съ чернильницей и кровать съ жосткимъ тюфякомъ, тѣ же картинки на стѣнѣ и маленькій образокъ въ переднемъ углу. Въ комнатѣ же, предназначавшейся для сестеръ, была только обгорѣлая кровать, кое-какъ сколоченная и связанная; на ней, впрочемъ, были продольныя доски, но ни тюфяка, ни подушекъ не имѣлось. Однако, несмотря на это неудобство, Марья Андреевна безъ всякаго стѣсненія легла на постель брата, а Дарья Андреевна сѣла къ окну, въ предназначенной для нея и сестры комнатѣ, уперлась на окно и задумалась. Она въ первый разъ встрѣтила такихъ людей, которые не хвастаютъ и ни передъ кѣмъ не унижаются, а живутъ просто. Все, что говорилъ Морозовъ, соотвѣтствовало ея мысли. Ей захотѣлось посовѣтоваться съ нимъ, что ей дѣлать? Онъ говоритъ, что ей не годится быть швеей; она и сама это знаетъ. Положимъ, что она будетъ мастерицей, но не будетъ ли вслѣдствіе этого хозяйка больше прежняго налегать на нее,—и она припомнила, какъ часто Софья Васильевна просила дѣвицъ помочь ей сшить то-то и то-то. Хорошо еще, если хозяйка будетъ платить ей деньги исправно, а не такъ, какъ задерживала у Софьи Васильевны. Пойди она въ другое мѣсто—то же. Морозовъ совѣтуетъ поступить въ телеграфистки, и тутъ же оговаривается, что-де нужна протекція. Да и, вѣроятно, телеграфные чиновники не упустятъ случая предоставить кусокъ хлѣба своимъ дочерямъ, племянницамъ и другимъ родственницамъ. Хотѣлось ей сейчасъ же отправиться къ г-жѣ Петерсонъ, но она устала. Взглянула она на противоположный домъ,—тамъ, изъ-за занавѣски крайняго окна, какъ разъ напротивъ этого, выглядывала хорошенькая брюнетка годовъ девятнадцати. Она, повидимому, смотрѣла на Дарью Андреевну; и какъ только замѣтила, что Дарья Андреевна смотритъ на нее, скрылась.

«Какой здѣсь народъ живетъ любопытный! Какъ-будто они совсѣмъ людей не видали», подумала Дарья

Андреевна и прилегла на братнину кровать рядомъ съ сестрою. Скоро и она заснула.

Когда она проснулась, то увидѣла, что братъ ея въ худенькомъ и разорванномъ во многихъ мѣстахъ пальтишкѣ сидитъ у стола и что-то пишетъ. Какъ-то невольно взглянула она въ окно, у котораго она видѣла брюнетку — брюнетка эта сидѣла лицомъ къ дому. Дарья Андреевна облокотилась и стала смотрѣть въ окно. Брюнетка что-то шила и часто взглядывала по направленію къ брату. Вдругъ она сдѣлала рукою поцѣлуй, братъ сдѣлалъ то же. Дарья Андреевна встала; Кузьма Андреичъ тоже всталъ. Дарья Андреевна замѣтила, что лицо его пылало румянцемъ и глаза были не то дикіе, не то выражали какое-то возбужденное состояніе.

Братъ и сестра поздоровались.

— Я было-хотѣла идти сегодня къ Петерсонъ, да устала,—сказала сестра.

— Ну вотъ, кто еще тебя пуститъ. Ты еще слаба, тебѣ надо идти послѣ Пасхи. Вѣдь сегодня великій четвергъ.

— Да мнѣ, братчикъ, будетъ скучно.

— Все равно тебя госпожа Петерсонъ не пуститъ.

— Ну, что новаго изъ Ильинска?

— Что новаго? все по старому. Мачеха сбирается сюда: хочетъ везти Володю сюда и отдать его въ военное училище. Тамъ, говорятъ, обучаютъ хорошо и принимаютъ на казенный счетъ дѣтей всѣхъ сословій. Только скверно то, что по окончаніи курса они должны служить въ военной службѣ писарями, кажется, восемь или шесть, что ли, лѣтъ.

— Зачѣмъ же въ военную? Можно въ уѣздное училище отдать. А вѣдь насъ трое—мы поможемъ.

— Я ей писалъ, но она не хочетъ. Впрочемъ, это дѣло ея; я ея сына не люблю.

— Какой ты, братъ, эгоистъ. Вѣдь дѣти-то нашего отца.

— Это еще неизвѣстно.

И братъ принялся писать.

Дарья Андреевна сѣла къ окну; брюнетки уже не было. Скучно ей сдѣлалось у брата.

Наконецъ, проснулась и Марья Андреевна. Она безъ церемоніи просила чаю.

— Чай и сахаръ у меня есть, а самовара нѣтъ. Погодите, я попрошу поставить самоваръ Александру Сергѣевну.—И онъ ушелъ, но скоро вернулся.

— Александра Сергѣевна проситъ васъ къ себѣ, только съ моимъ сахаромъ и чаемъ. Я часто пою ихъ чаемъ, потому-что они мнѣ нравятся.

За чаемъ велась оживленная бесѣда, душою которой были хозяинъ и хозяйка. Они знали очень многое, чего не знала Дарья Андреевна, и обо всемъ судили здраво, доказывая примѣрами.

Про себя Морозовъ разсказывалъ слѣдующее: «воспитывался я въ семинаріи и былъ уже на второй половинѣ философскаго курса, какъ вдругъ вышло обстоятельство, которое перемѣнило мою жизнь въ другую сторону. Кто знаетъ, можетъ-быть, я уже былъ бы теперь гдѣ-нибудь протопопомъ или архимандритомъ, такъ-какъ я учился хорошо. Но однажды пришелъ въ нашу комнату ректоръ и замѣтилъ, что я курю папироску. «Что это такое?» кричитъ онъ. «Въ карцеръ на двѣ недѣли». Я говорю: «Помилуйте, в.в-біе, въ томъ, что я курю, нѣтъ грѣха». А онъ «за грубость—на три недѣли въ карцеръ». «Хотите, я докажу вамъ, что курить можно?». Онъ меня какъ ударитъ по щекѣ разъ, два, и пошелъ. Насилу я опомнился. Опомнившись, говорю: «Это недостойно вашего сана. Какое, говорю, имѣете вы право драться?»—и подступилъ къ нему,—онъ бѣжать. Товарищи начали свистѣть. Ну, конечно, меня засадили въ карцеръ, просидѣлъ я недѣлю. Вдругъ призываютъ меня въ консисторію: «Преосвященнымъ положена резолюція,—отдать тебя въ военную службу за буйство въ семинаріи». Я къ матери, а мать у меня была просвирней: та къ архіерею, ну, меня и помиловали, только съ тѣмъ, чтобы я цѣлую недѣлю звонилъ на соборной колокольнѣ. Ну, я и звонилъ, а какъ прозвонилъ недѣлю, такъ мнѣ и выдали волчій паспортъ, что я-де, по собственному желанію, исключенъ изъ духовнаго званія, съ тѣмъ, чтобы въ такой-то срокъ мнѣ записаться въ податное званіе. Нѣтъ, думаю, шалишь! Сталъ я шататься по присутственнымъ мѣстамъ и кое-какъ поступилъ въ почтальоны, а черезъ годъ былъ уже сортировщикомъ; потомъ я выдержалъ экзаменъ въ гимназіи, получилъ чинъ, и тогда моя обязательная служба почтовому вѣдомству кончилась. Однако я перепросился въ петербургскій почтамтъ на томъ основаніи, чтобы даромъ доѣхать съ почтой до Петербурга, а какъ пріѣхалъ, такъ и вышелъ въ отставку, поступилъ въ университетъ. И какъ же мнѣ трудно было жить! Кое-какъ перебивался урочишками. Однако, все-таки одолѣлъ, кончилъ курсъ и поѣхалъ сюда. Здѣсь я поступилъ секретаремъ въ судебную палату, но такъ мнѣ надоѣла эта служба!.. Предсѣдатель взяточникъ, совѣтники тоже. Напишешь докладъ,—сердятся. Дѣло рѣшено неправильно—первый подписывай, ну, взялъ и вышелъ въ отставку, поселился въ матушкиномъ домѣ, а домъ ея стоялъ рядомъ съ домомъ вотъ Сашиной матери. Теперь вотъ мы вмѣсто двухъ домовъ выстроили одинъ большой. А какъ я сошелся съ Сашей—говорить нечего. Жили рядомъ, дѣлали глазки, ручками поцѣлуи»...

— Полно ты, безстыдный.

— А у меня, милая Дарья Андреевна, есть небольшая библіотечка. Если угодно, она къ вашимъ услугамъ.

— Сдѣлайте милость.

— Я вамъ самъ дамъ—выберу. Жаль, что наша музыка-то сгорѣла.

Александра Сергѣевна вздохнула.

— Роялишка маленькій былъ. Она вѣдь у меня музыкантша, въ институтѣ воспитывалась, только вотъ самой пришлось бѣлье стирать. Да, плохо вашему брату, женщинамъ! Она вотъ и въ институтѣ воспитывалась, на французскомъ и нѣмецкомъ языкѣ, какъ говорится, собаку съѣла.

— Это только тебѣ такъ кажется: съ этой жизнью мнѣ не только французскія, но даже и русскія-то

книги некогда читать, — вставила Александра Сергѣевна.

Въ это время Кузьма Андреичъ ушелъ домой.

— Не любитъ онъ такихъ разговоровъ,—замѣтилъ хозяинъ; — онъ ихъ называетъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. По-моему же, кажется, пріятно побесѣдовать о своей жизни, въ особенности съ разсужденіями о женскомъ вопросѣ. Итакъ, я говорю, что Сашенька музыкантша, знаетъ языки, имѣетъ дипломъ на званіе домашней учительницы, а между тѣмъ, чѣмъ она занимается? Тѣмъ же, чѣмъ занимаются и крестьянки. Вы скажете: отчего же, имѣя дипломъ, она не поступитъ въ гувернантки? Пробовала, сударыни мои!.. Когда она была дѣвушкой, она, кажется, въ двадцати-пяти домахъ перебывала. И знаете, что это за каторжная служба! Или маменьки черезчуръ требовательны, или дѣти слишкомъ избалованы, или гимназистишки надоѣдали своими ухаживаніями. Пробовала она, уже замужняя, учить дѣтей. То же самое. Но все-таки она учила, а вотъ какъ родила сама ребенка, и перестала.

— А гдѣ же онъ у васъ?—спросила Дарья Андреевна.

— А въ городѣ, близъ набережной, у ея тетки. Саша, надо будетъ его взять. Тамъ, поди, теперь уборка.

— Погоди, я завтра вымою полъ—схожу.

— Душечка, Александра Сергѣевна, приведите его сегодня: онъ можетъ у насъ побыть то время, когда вы будете убираться,—проговорила Дарья Андреевна.

— Да вѣдь мнѣ и у васъ тоже нужно мыть полы: Кузьма Андреичъ съ тѣмъ и нанималъ квартиру.

— Ну, ужъ мы этого не позволимъ! Не такъ ли, Маша?

— Конечно, мы дома, когда кухарки не было, сами мыли полы,—сказала Маша, довольная тѣмъ, что ее спросили и что и она можетъ чѣмъ-нибудь похвастаться.

— Еще руки занозите—бѣда тогда съ вами,—замѣтила хозяйка.

— Ну-съ, такъ вотъ теперь я спрашиваю васъ, милостивая государыня, какія же еще существуютъ для женщины профессіи?—началъ снова хозяинъ.— Обученіе въ школахъ. Прекрасно. Поѣхалъ я прошлую зиму въ село къ пріятелю по университету, онъ тамъ мировымъ посредникомъ и завелъ на свой счетъ школу. Ну, водворился я въ школѣ; собирается туда до пятидесяти мальчиковъ. Обучали закону Божію, письму, чтенію и ариѳметикѣ священникъ и дьяконъ; хотя собственно учителемъ-то считался священникъ, но такъ-какъ попъ частенько загуливалъ, то его должность исправлялъ дьяконъ. Ученіе такъ шло прекрасно, что когда я поступилъ, мальчики едва умѣли писать и считать цифры до сотни. Оно, конечно, капиталовъ у крестьянъ немного (это вѣроятно почтенные наставники знали хорошо), но вѣдь мальчику хочется и сложить свои копейки, и вычесть изъ нихъ на исправленіе мостовъ или на ту же потребу хотя попу или дьякону. Ну, я уговорилъ священника, чтобы онъ письмо и ариѳметику предоставилъ мнѣ. Онъ обидѣлся, но уступилъ. Преподаваніе шло хорошо съ мѣсяцъ, мальчишки стали уже умножать и дѣлить, стали понимать громъ и молнію; и тутъ-то вотъ начались на меня гоненія: зачѣмъ-де я объясняю мальчишкамъ такія штуки? Но это ничего. А вотъ попъ сталъ обижаться на меня за то, что, съ моимъ поступленіемъ въ училище, ему стали мало приносить яицъ и другихъ снадобьевъ. Донесъ онъ на меня посреднику офиціально, что я-де учу фармазонству и обираю крестьянъ. Посредникъ-пріятель выговорилъ мнѣ вѣжливо, я объяснилъ, ну похохотали—тѣмъ дѣло и кончилось. А тутъ вышла исторія. Стали крестьяне просить меня сочинять имъ письма—я писалъ. Потомъ дѣло дошло до того, что цѣлое общество стало просить меня сочинить просьбу губернатору о томъ, чтобы ихъ надѣлили землею по Положенію. Я, конечно, прежде всего обратился къ пріятелю. Тотъ обидѣлся, сказалъ, что я вмѣшиваюсь не въ свое дѣло, что я-де учитель и больше ничего. А если-де я буду вмѣшиваться еще въ эти дѣла, то онъ попроситъ меня уѣхать. Оказалось, что посредникъ-то тянулъ сторону помѣщиковъ. Ну, я и уѣхалъ и поселился здѣсь. Ужъ если мужчинѣ трудно честно исполнять свою обязанность изъ-за куска хлѣба, то женщинѣ и подавно трудно. Мужчинѣ приходится уступать передъ начальствомъ, онъ все-таки имѣетъ долю самостоятельности, а женщинѣ для того, чтобы ладить и добывать свой хлѣбъ, зачастую приходится или поступить въ любовницы или выйти замужъ.

— Какія ты странныя говоришь вещи—замѣтила Александра Сергѣевна.

— Вещи эти очень простыя, я знаю тысячи примѣровъ. Возьми, напримѣръ, хоть швейное занятіе. Ну, чего бы, кажется, проще швейнаго занятія? Ну, открываетъ женщина магазинъ. На нее тычутъ пальцами сытые люди: какъ-де можно пускаться на такое ремесло. Если же не знаютъ, спрашиваютъ другъ друга: кто она такая? По мнѣнію развратниковъ— она развратница. Даже свои люди, тѣ же содержательницы магазиновъ, стараются заклевать ее. Много ей приходится перетерпѣть обидъ, чтобы установиться и заслужить себѣ репутацію. Надо замѣтить, что мы живемъ въ вѣкъ развращенный, ибо будь модистка любовница важнаго барина, хотя бы онъ былъ и безъ зубовъ, она будетъ имѣть почетъ, и ее завалятъ работами. Другой примѣръ: ты, Саша, знаешь вѣдь содержательницу пансіона, что на Петербургской улицѣ? Она пріѣхала изъ Петербурга со множествомъ рекомендательныхъ писемъ, и поэтому ей скоро разрѣшили открыть пансіонъ. Какого она была раньше поведенія — намъ до этого нѣтъ дѣла, но въ городѣ стали звонить, что она въ Петербургѣ жила на содержаніи и любовникъ ее прогналъ. Ей тогда былъ, кажется, двадцать-пятый годъ. А когда стали говорить это, нашлись ловеласы, началъ самъ директоръ гимназіи, и до чего вѣдь они, скоты, довели ее, что она должна была бросить пансіонъ. И вотъ, когда на ней женился учитель гимназіи, она снова открыла пансіонъ и теперь уже никто противъ нея не смѣетъ рта разинуть.

— Значитъ, личность женщины ограждается мужемъ?—спросила Морозова Дарья Андреевна.

— Пожалуй, что такъ, по крайней мѣрѣ въ настоящее время.

— И надо выходить замужъ?

— Да, въ настоящее время, пока женщинѣ не даютъ самостоятельности. Положимъ, у насъ существуютъ телеграфистки. Но я уже докладывалъ вамъ, что это особый классъ, который составляетъ какъ бы семью, все равно, что почтовые, которые обыкновенно живутъ въ одномъ домѣ. Я уже говорилъ вамъ раньше, что въ телеграфистки поступаютъ или по протекціямъ, или женщины родственницы мужчинамъ, телеграфистамъ. Если послѣднее обстоятельство вѣрно, то тогда составится особый классъ: отцы будутъ готовить дочерей на ту же службу, какую и они исполняютъ. Это видно изъ того, что большинство почтовыхъ готовитъ дѣтей въ почтовое вѣдомство, какъ духовные въ духовное. Дозволятъ женщинамъ быть сортировщицами—сортировщицы будутъ дочери, сестры, жены почтовыхъ; позволятъ женщинамъ быть бухгалтерами—контролеры и бухгалтеры научатъ своихъ женъ, дочерей и пр. счетоводству. А попади на одно изъ этихъ мѣстъ женщина съ воли—ей ходу не дадутъ. Тутъ, видите, примѣшается и эгоизмъ и самолюбіе: ишь-де сколько у насъ заштатныхъ чиновниковъ безъ мѣстъ шатаются, стариковъ гонятъ прочь, у насъ у самихъ куча ребятишекъ, сами мы получаемъ маленькое содержаніе, и вдругъ женщина, да еще чужая, служитъ съ нами? Положимъ, она знаетъ дѣло; но, полно, такъ ли, какъ мы; не нужно ли ее еще поучить? Вѣдь и мы, когда поступали на новыя мѣста, спрашивали совѣтовъ стариковъ. Такимъ образомъ, надъ нею будутъ острить, будутъ ловеласничать и мѣшать ей. Ну, какая же, скажите на милость, самостоятельность-то тутъ?

Онъ отеръ со лба потъ. Дарья Андреевна слушала его со вниманіемъ, но Марья Андреевна уже громко зѣвала. Александра Сергѣевна что-то шила, сидя у окна.

— Ты бы, сестра, пошла спать, — сказала ей Дарья Андреевна.

— А ты?—спросила охриплымъ голосомъ сестра.

— Корнило Савичъ, мы вамъ мѣшаемъ?

— Нисколько. Я очень радъ, что могу хоть поговорить съ кѣмъ-нибудь. А вы, Марья Андреевна, если хотите спать, то я принесу вамъ подушку.

— Покорно благодарю, я домой пойду.

Марья Андреевна ушла.

— Итакъ-съ, началъ опять Морозовъ:—теперь остаются какія еще профессіи? Продавать водку?

Слушательницы захохотали.

— Право! Вотъ тутъ ужъ женщина вполнѣ самостоятельна.

— Нехорошее занятіе: пожалуй, можно и напиться, особенно въ праздникъ, — сказала Александра Сергѣевна.

— Напротивъ, я тутъ не вижу ничего дурного. Возьмите, напримѣръ, калачницъ, женщинъ, продающихъ орѣхи, пряники, торговокъ разныхъ,— проговорила Дарья Андреевна.

— Такъ-то оно такъ. Можно торговать чѣмъ угодно и быть самостоятельной, если имѣешь капиталъ.

— Это такъ; безъ денегъ ничего не сдѣлаешь. Если бы я имѣла деньги, я бы устроила лавочку,—сказала Дарья Андреевна.

— Питейную?—сострилъ Морозовъ.

— Нѣтъ. Табачную или какую другую.

— Ну-съ, а кто бы сталъ покупать табакъ, гильзы и прочую мелочь? Знаете ли вы, что табачныя лавки выручаютъ не табакомъ, а мелочью, въ родѣ нитокъ, пуговицъ и прочаго. Все нужно купить и знать, какъ, что, и гдѣ купить, соображаясь съ требованіями того околотка, гдѣ будетъ лавка.

— Я бы наняла помощницу.

— А она бы васъ стала обкрадывать.

— Я завела бы счеты.

— Ничего эти счеты не значатъ, потому-что вѣдь вы въ счетахъ смыслите мало, да и обидѣть свою помощницу не захотите. Если вы ее будете обижать—она будетъ вамъ вредить, и торговля пойдетъ къ чорту; если вы будете ей потворствовать— она еще больше запуститъ лапу и вы разоритесь.

— Ты ужъ очень строго судишь, мой другъ: когда я жила въ Петербургѣ, такъ я замѣчала, что во многихъ табачныхъ лавочкахъ торгуютъ женщины, и молодыя и старыя,—сказала Александра Сергѣевна.

— Это и я знаю, душа моя; но тутъ непремѣнно кто-нибудь заправлялъ съ самаго начала: или мужъ, или опытная мать, бабушка. Главное нужно начать, проторговать годъ, не плутовать, и если дѣло пойдетъ хорошо—не трогаться съ мѣста. Теперь предстоятъ новыя средства для самостоятельности женщинъ. Пишутъ, что откроются скоро гласные суды, рѣчи будутъ записываться стенографически.

— Но это одно предположеніе,—сказала Александра Сергѣевна.

— Женщины еще не знаютъ, что такое стенографія,—сказала Дарья Андреевна.

— Научатся, матушка. Наука не трудная.

— Ну, такъ что же тогда: куда онѣ дѣнутся со своими снимками?

— А будутъ отдавать печатать въ газетахъ.

— При нынѣшней цензурѣ?

— Можетъ-быть, тогда и не будетъ цензуры. Но не вытѣснятъ ли женщинъ мужчины? А вотъ, Дарья Андреевна, хорошая штука—это повивальное ремесло. Вы можете поступить въ университетъ или въ петербургскій повивальный институтъ. Тутъ у васъ вѣчный кусокъ хлѣба. Только надо замѣтить, что въ Петербургѣ этихъ бабокъ такъ много расплодилось, что большинство живетъ единственно отдачею комнатъ подъ постой. А если вы поѣдете въ провинцію—вы будете барыня. Посмотрите, какъ наши губернскія повивальныя бабки живутъ.

— Да онѣ всѣ замужнія, — вмѣшалась Александра Сергѣевна.

— Это ничего. Для того на нихъ и женились, что онѣ получаютъ за практику деньги.

— Я въ Ильинскѣ видала бабку. Сперва про нее говорили, Богъ знаетъ что, потомъ привыкли.

Пробило два часа ночи, и гостья распрощалась съ хозяевами. Хозяйка поцѣловала ее. На квартирѣ у брата всѣ спали, такъ-что она едва достучалась.

XXX.

На другой день Дарья Андреевна отправилась къ Эмиліи Карловнѣ. Эмилія Карловна теперь устроилась иначе. Входъ въ ея магазинъ былъ съ улицы; вывѣска съ картинками была подновлена; въ магазинѣ были диваны и въ двухъ шкафахъ съ стеклянными дверцами висѣли платья, мантильи, шляпки. На двухъ окнахъ стояли двѣ бумажныя головы чучелъ, изображающія скорѣе идоловъ съ индусскими лицами, а никакъ непохожія на европейца. Тутъ же стояли и болванки съ шиньонами и красовались лицомъ къ стекламъ модныя картинки. Въ магазинѣ были также часы и большой столъ, на которомъ лежала какая-то книга. Когда Дарья Андреевна отворила дверь, то въ магазинѣ раздался звонокъ. Въ магазинѣ никого не было. Немного погодя, изъ внутреннихъ дверей за шкафомъ направо вышла дѣвушка годовъ семнадцати, съ чахоточнымъ, изнуреннымъ лицомъ.

— Что вамъ угодно?—спросила она Дарью Андреевну съ нѣмецкимъ акцентомъ.

— Мнѣ нужно Эмилію Карловну.

Дѣвушка ушла. Явилась Эмилія Карловна.

— Батюшки, кого я вижу! Здравствуйте, милая моя. Насилу-то!—и она начала обнимать и цѣловать Дарью Андреевну, а потомъ пригласила съ собой.

Онѣ вошли въ небольшой темный коридорчикъ, изъ котораго было три хода: направо въ швейную, налѣво въ хозяйское помѣщеніе и напротивъ—въ чуланъ, въ которомъ спали дѣвицы. Эмилія Карловна повела гостью въ швейную.

Тамъ занимались шитьемъ четыре дѣвочки отъ шести до восьми лѣтъ; дѣвушка же семнадцати лѣтъ показывала имъ.

— Вотъ моя швейная. Эти дѣвочки ученицы живутъ на моемъ содержаніи, а это (она указала на семнадцатилѣтнюю) показываетъ имъ. Паулина, сшила ты лифъ?

— Не совсѣмъ,—отвѣчала дѣвушка.

— Съ тобой немного наработаешь. Работы, Дарья Андреевна, такъ много, такъ много... И я васъ хочу попросить начать съ сегодняшняго дня.

— Я теперь не могу. А вотъ развѣ послѣ Пасхи.

— Да помилуйте, теперь-то и нужна мнѣ мастерица, а послѣ Пасхи работы почти совсѣмъ не будетъ. Пожалуйте сюда.

Петерсонъ повела Дарью Андреевну въ свою квартиру, состоящую изъ двухъ комнатъ и кухни.

— Вотъ въ этой комнатѣ я живу, а въ той сынъ. Хотите кофе?

— Пожалуй.

Стали пить кофе.

— Дарья Андреевна, голубушка! останьтесь у меня. Ей-Богу я совсѣмъ смучилась; никуда нельзя выйти изъ дому. Я вамъ положу по полтора рубля въ сутки.

— Да вѣдь я еще не умѣю кроить.

— О, это пустое!—Я буду сама кроить, и вы научитесь.

— Я, пожалуй, останусь, только мнѣ надо извѣстить брата, что я здѣсь.

— Это мы устроимъ: я пошлю съ вашей запиской къ вашему брату дѣвочку. Остаетесь?

— Я васъ, Эмилія Карловна, хочу попросить взять къ себѣ, хотя до праздниковъ, мою сестру, она тоже умѣетъ шить и ей бы пригодились деньги на праздникъ.

— Но... это ужъ будетъ много... Знаете, мнѣ нужно кормить... тѣсно.

— Я на свой счетъ буду кормить ее, да, пожалуй, и сама ѣсть стану на свои деньги.

— Ну, вотъ вы и обидѣлись. Но... я право не знаю, какъ...

— Въ противномъ случаѣ, я за эту цѣну несогласна оставаться у васъ.

— Ну, ну! Хорошо. Пусть ваша сестра придетъ.—Такъ вы сейчасъ займетесь?

— Пожалуй, хоть сейчасъ.

— Паулина у меня теперь вмѣсто мастерицы. Она нѣмка, дочь мастера, моя крестница, да и дѣвицы почти всѣ изъ нѣмецкихъ семействъ. Если Паулина не будетъ васъ слушаться, вы сказывайте мнѣ, и я ужъ знаю, какъ распорядиться съ ней: такъ оттаскаю за уши—чудо! А съ прочими вы не церемоньтесь—такъ и теребите за уши, иначе не будутъ слушаться.

Итакъ Дарьѣ Андреевнѣ не пришлось погулять на волѣ и она поступила на работу неожиданно. Хотѣлось ей сходить къ Удинцовымъ провѣдать Ольгу Герасимовну, тѣмъ болѣе, что домъ Удинцова отъ магазина Петерсонъ былъ близко: стоило только спуститься внизъ. Но ужъ если она согласилась помочь Петерсонъ, то должна исполнить свое обѣщаніе, тѣмъ болѣе, что полтора рубля въ сутки на улицѣ не найдешь. Работы оказалось дѣйствительно много, а Дарья Андреевна удивилась, зачѣмъ это Петерсонъ набрала столько работы, когда у ней только одна мастерица умѣетъ шить? Или она хотѣла кого-нибудь прихватить къ празднику, но вѣдь до праздника оставалось всего только двое сутокъ... Петерсонъ, давши ей матеріи на одно платье, уже скроенное, и наказавши, какъ мастерицѣ, такъ и маленькимъ дѣвочкамъ, слушаться главную мастерицу, ушла изъ дому.

— Провалилась, чертовка!—проговорила одна дѣвочка.

Другія дѣвочки побросали свои лоскутья и стали играть.

— Каролинъ, Анна... Я васъ!—стала унимать дѣвочекъ молодая мастерица.

Дѣвочки высунули ей языки.

Мастерица кинулась на нихъ, но онѣ убѣжали въ коридоръ.

Мастерица пошла туда, вытащила оттуда одну дѣвочку и стала ее щелкать по щекамъ.

— Паулина, я васъ прошу сѣсть на свое мѣсто и работать,—проговорила Дарья Андреевна взволнованнымъ голосомъ и съ раскраснѣвшимися щеками. Ей неловко казалось разыграть роль старшаго.

Мастерица спросила Дарью Андреевну по-нѣмецки, что она говоритъ?

— Говорите по-русски: вы вѣдь умѣете говорить по-русски.

Мастерица сдѣлала непонимающій видъ и уставилась на Дарью Андреевну.

— Я прошу васъ сѣсть на свое мѣсто и дѣлать то, что вамъ дано,—сказала громко Дарья Андреевна такъ, что ей сдѣлалось совѣстно.

Мастерица не трогалась съ мѣста. Всѣ дѣвочки стояли у стола, за которымъ сидѣла Дарья Андреевна съ работой.

— Говоритъ она по-русски? — спросила Дарья Андреевна одну дѣвочку.

— Говоритъ,—сказали всѣ вразъ.

— Ну, дѣвочки, идите себѣ, поиграйте.

— Да тамъ темно...

— Ну, играйте здѣсь. Я вамъ скажу, когда вамъ шить.

— Эмилія Карловна не позволяетъ имъ играть,— сказала, наконецъ, мастерица.

— А я позволяю и принимаю это на свой страхъ.

— А вы кто такая?

— Вы слышали это отъ хозяйки. Если вы устали, можете тоже поиграть съ дѣтьми—я вамъ это дозволяю.

— Вы мнѣ не имѣете права приказывать, я сама мастерица.

— Я этого не отрицаю; только, кажется, я вѣдь старше васъ лѣтами. Не такъ ли? А если я старше, то вамъ слѣдуетъ слушаться меня, тѣмъ болѣе, что и Эмилія Карловна приказала вамъ это. Вѣдь и я тоже моложе Эмиліи Карловны, а видите, не ослушиваюсь ее, а шью.

— Да вы только сейчасъ поступили.

— Спросите объ этомъ Эмилію Карловну.

Дарья Андреевна не стала больше возражать и говорить. Она задумалась надъ тѣмъ, какъ ей трудно будетъ ладить съ этой молодой нѣмкой, къ которой, какъ кажется, хозяйка благоволитъ до такой степени, что она позволяетъ себѣ колотить по щекамъ маленькихъ дѣвочекъ. Она не боялась, что эта дѣвушка будетъ на нее жаловаться, потому-что Эмилія Карловна знаетъ ее давно; но непріятно то, что придется постоянно съ ней ссориться, и она рѣшилась съ перваго же раза показать, что она больше ея знаетъ и больше ея имѣетъ для Эмиліи Карловны значенія.

— Ну теперь, дѣвушки, садитесь работать,—сказала черезъ полчаса Дарья Андреевна дѣвочкамъ.

— Мы еще побѣгаемъ.

— Эмилія Карловна скоро придетъ.

— Какая Эмилія Карловна?—спросила одна дѣвочка.

— Хозяйка.

— Намъ не велѣно ее такъ называть. Велятъ называть мадамъ.

— Ну, садитесь же, я вамъ сахару дамъ послѣ. А вы, Паулина, бросьте вашу книжку.

— Я не хочу работать, потому-что вы русская.

— А вы гдѣ живете?

— Я у нѣмки.

— Ну, какъ хотите: вы считаетесь мастерицей, и дѣлайте, какъ знаете. Вы, можетъ-быть, думаете, что я стану за васъ шить? Ошибаетесь.

Молодая мастерица сѣла, надувши губы, и стала шить.

Дарья Андреевна пошла смотрѣть на работы дѣвочекъ. Всѣ онѣ шили очень дурно, и Дарья Андреевна рѣшилась поговорить съ Эмиліей Карловной насчетъ того, чтобы имъ давать что-нибудь легкое, а никакъ не строчень; отобрать же отъ нихъ работу, данную имъ самою хозяйкою, она не рѣшилась. «Пусть портятъ,—мнѣ что за дѣло», подумала она и подошла къ Паулинѣ.

— Это вы что шьете?

— А вамъ какое дѣло? Я вѣдь васъ не спрашиваю.

— Послушайте, Паулина, есть пословица: умъ хорошо, два лучше. Поэтому я бы вамъ совѣтовала не корчить такъ складки, выйдетъ некрасиво...

— Не ваше дѣло!—сказала та рѣзко.

— Конечно, мнѣ нѣтъ дѣла, но я, жалѣя васъ, вмѣшиваюсь, можетъ-быть, не въ свое дѣло: вѣдь вамъ придется распороть, а вѣдь это двойная работа.

Нѣмка покраснѣла, но стала распарывать. Распоровши, она не знала, что̀ ей дѣлать.

— Если вы въ чемъ затрудняетесь—я вамъ покажу,—сказала Дарья Андреевна.

Это до слезъ проняло нѣмку; она кусала со злости губы, но подойти къ Дарьѣ Андреевнѣ не рѣшалась.

Дѣвочки начали острить надъ Паулиной. Паулина вышла въ магазинъ, Дарья Андреевна взяла ея шитье и на живую нитку наметала складки на лифчикъ.

Въ магазинѣ раздался звонокъ. Потомъ послышался громкій разговоръ Паулины съ какой-то женщиной. Черезъ нѣсколько минутъ въ швейную вошла съ Паулиной женщина годовъ 23—24.

— Я вамъ говорю, что хозяйка уже взяла мастерицу,—говорила Паулина съ сердцемъ.

— Какая ты грубіянка, какъ я посмотрю! Ну! я подожду самое хозяйку, — проговорила вошедшая женщина.

— Дѣвушки, принесите, пожалуйста, стулъ. А вы, позвольте васъ спросить, въ мастерицы къ г-жѣ Петерсонъ поступаете? — спросила Дарья Андреевна вошедшую женщину.

— Да. Она меня убѣдительно просила поступить къ ней въ закройщицы; у меня у самой дома много работы, и я разсовала ее своимъ сестрамъ, побѣжала сюда какъ сумасшедшая. А теперь что вижу?.. Она меня обманула.

— А она когда васъ приглашала?

— Вчера утромъ.

— Сами виноваты. Если бы вы пришли сюда пораньше утромъ сегодня, то навѣрно поступили бы. Прошу васъ сѣсть.

— Да нѣтъ, ужъ я пойду.

— Какъ хотите.

Женщина сѣла, но ей не терпѣлось: ей хотѣлось показать себя хорошо смыслящею въ швейномъ дѣлѣ. Она сперва подошла къ дѣвочкамъ.

— Признаюсь!... Да развѣ можно дѣвчонкамъ поручать такое шитье? Онѣ только портятъ.

Потомъ подошла къ Паулинѣ.

— Вамъ сколько лѣтъ?

Та отвѣтила по-нѣмецки.

— Однако, если бы я была хозяйка, ни за что бы не поручила вамъ портить дорогую матерію.

Паулина выругала ее по-нѣмецки.

Подошла она и къ Дарьѣ Андреевнѣ.

— Немножко грубовато.

— Дѣло спѣшное.

— Всеже... Я удивляюсь, зачѣмъ это г-жа Петерсонъ меня звала, когда у нея уже есть мастерица.

Дарья Андреевна объяснила ей, что она до Рождества работала у Петерсонъ, потомъ захворала и вышла изъ больницы только вчера.

Пришла Петерсонъ и извинилась передъ этой женщиной. Оказалось, что, имѣя много работы и имѣя только одну швею, которая еще не очень хорошо умѣла подбирать полосы и клинья, Петерсонъ въ виду того, что до Пасхи осталось немного времени, часть работы разсовала по домамъ и пригласила эту женщину на правахъ закройщицы, и тутъ же высказала, когда женщина начала порицать ея магазинъ и ее самое назвала обманщицей, что она, Петерсонъ, и не думала вовсе оставлять ее и послѣ Пасхи закройщицей, а что она нужна ей была только къ праздникамъ.

Женщина раскричалась, и Эмилія Карловна почти-что выгнала ее въ шею. Проводивши женщину, Эмилія Карловна начала ревизію съ дѣвочекъ. Посмотрѣвши на ихъ работу, она стала ихъ бить.

— Эмилія Карловна! Развѣ можно давать такимъ маленькимъ трудную работу? Ихъ вѣдь еще надо учить, и учить съ чернового,—вступилась за дѣвочекъ Дарья Андреевна.

— Помилуйте, Даша, онѣ у меня уже третій мѣсяцъ живутъ!..

— Но примите во вниманіе, добрая Эмилія Карловна, ихъ лѣта.

— Обѣдать не получите!—сказала хозяйка дѣвочкамъ, отобрала отъ трехъ работу и швырнула ее передъ Паулиной, къ которой и подошла.

— Ну, а ты что?

Осмотрѣвши ея работу тщательнымъ образомъ, она погладила по головѣ.

— Вотъ ты сегодня паинька. Да тебѣ, поди, показали?

— Нѣтъ!..

— Ай врешь!..

— Нѣтъ, я не показывала. Она далеко пойдетъ,—сказала отъ себя Дарья Андреевна.

Въ магазинѣ раздался звонокъ. Паулина подошла посмотрѣть, и, вернувшись, сказала, что пришелъ Николай Павловичъ.

— Скажите, чтобы накрывали на столъ. Вы, Даша, будете съ нами обѣдать.

Дѣвочки обѣдали въ кухнѣ. Онѣ хлебали какую-то старую прокислую похлебку. Больше ничего имъ не полагалось, во-первыхъ, потому, что былъ постъ, а во-вторыхъ, всѣ онѣ были хозяйкой законтрактованы до 17-ти-лѣтняго возраста, за что Петерсонъ родителямъ или родственникамъ ихъ дала не больше трехъ рублей, обязуясь кормить и одѣвать ихъ. Спали онѣ въ темномъ чуланѣ на полу; только для крестницы ея, Паулины, была поставлена тамъ кровать, но крестница обѣдала съ хозяйкой и платы не получала. Кушанье было скоромное, сытное. Славинъ былъ развязенъ и очень говорливъ съ Дарьей Андреевной, что не очень нравилось какъ Паулинѣ, такъ и Дарьѣ Андреевнѣ; но Эмилія Карловна сама поддерживала разговоръ. Время прошло весело. Послѣ обѣда отдыха дѣвочкамъ не полагалось. Дарья Андреевна попросила хозяйку позволить дѣтямъ погулять, но она такъ вспылила, что настаивать было неловко.

Когда посланная Дарьей Андреевной съ запиской къ брату и сестрѣ вернулась, то принесла отъ сестры записку такого содержанія: «Милая сестричка, Дашенька! Братъ на тебя очень сердитъ, что ты, не спросясь его, ушла къ своей мадамѣ. У него очень много починки. Я не могу къ тебѣ прійти на помощь, постоянно починиваю брату разныя разности. Любящая тебя сестра Марья».

Прочитавши это письмо, Дарья Андреевна разсмѣялась.

— Что сестра ваша?

— Брюки починиваетъ брату.

Хозяйка и Паулина тоже захохотали.

Работали усердно и дружно трое: хозяйка, Дарья Андреевна и Паулина. Въ пятницу на субботу просидѣли до 6-ти часовъ утра и до 8 часовъ утра не спали, а дѣвочки легли въ 12 часовъ, и ихъ разбудили въ 6 часовъ, но онѣ все-таки проспали до 8 часовъ. Когда хозяйка въ субботу пошла съ готовыми двумя платьями, Паулина уже не сердилась на Дарью Андреевну, и онѣ долго пѣли разныя пѣсни. Работали онѣ ровно до 9 часовъ утра перваго дня Пасхи, такъ что христосовались въ два часа, когда пришелъ изъ церкви Николай Павловичъ. Въ девять часовъ стали пить вино, ѣсть колбасу, ветчину и сыръ. Дарья Андреевна получила отъ Петерсонъ три рубля денегъ и приглашеніе прійти завтра обѣдать.

— Я надѣюсь, Дарья Андреевна, что вы останетесь у меня.

— Мы поговоримъ съ вами завтра, а теперь я устала.

И Дарья Андреевна ушла домой усталая и изнуренная. Зато она была рада, что заработала въ двое сутокъ три рубля.

XXXI.

Когда Марья Андреевна шла въ квартиру брата, на улицахъ Егорьевска было пустынно, точно всѣ спали въ это время. Магазины и лавки заперты. А погода хорошая: солнце грѣетъ, но слегка; съ рѣки дуетъ легкій вѣтерокъ. На небѣ нѣтъ ни одного облачка. Ледъ на водѣ вздулся, того и гляди, что тронется. Кое-гдѣ изъ трубъ поднимается дымъ; изъ дворовъ несетъ жаренымъ гусемъ, мимо домовъ лежатъ крашеныя скорлупы отъ яицъ, изъ оконъ выглядываютъ принаряженные люди. Наконецъ, зазвонили въ колокола; извозчики, до сихъ поръ дремавшіе на своихъ пролеткахъ, пріосанились. Даже собаки изъ нѣсколькихъ подворотенъ вышли на улицы и улеглись, умильно поглядывая на солнышко, — какъ будто и онѣ почуяли праздникъ. Но вотъ началась и ѣзда: идутъ чиновники въ треуголкахъ и шитыхъ мундирахъ, ѣдутъ купцы въ высокихъ шляпахъ. Это они ѣхали съ визитами. Хотѣла Дарья Андреевна взять извозчика до квартиры брата, но извозчикъ за какія-нибудь полверсты запросилъ рубль серебра.

Братъ и сестра одѣвались. На столѣ у брата лежали: маленькій куличъ, взятый изъ кондитерской, сыръ, масло и яйца.

— Куда это вы?—спросила ихъ Дарья Андреевна.

— Съ визитомъ къ Платоновымъ. Одѣвайся и ты,—говорилъ братъ.—А сколько ты денегъ получила?

— Два рубля.

— Ты, сестрица, отдай мнѣ, а то еще потеряешь.

— Нѣтъ, пусть будутъ у меня; мнѣ башмаки надо купить.

— Какъ знаешь. Только сегодня ты едва ли купишь, потому-что всѣ лавки заперты.

Скоро братъ и сестра ушли, а Дарья Андреевна пошла къ хозяевамъ. Хозяйка стряпала, самъ Морозовъ сидѣлъ на диванѣ съ сыномъ 4-хъ лѣтъ, бойкимъ мальчуганомъ.

— Хвалю, хвалю! — говорилъ Морозовъ, уже выпившій.

— За что?

— За то, что не захотѣли провести время праздно. А вотъ я очень сожалѣю, что я не сапожникъ и не портной, а то вчера полдня бѣгалъ по своимъ должникамъ, насилу собралъ двѣнадцать рублей и то слава Богу. Ну, что ваша хозяйка?

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ. Дарья Андреевна замѣтила, что Морозовъ что-то ужъ очень часто уходитъ въ спальню, и какъ только выйдетъ оттуда, языкъ начинаетъ ему измѣнять; наконецъ, онъ даже началъ говорить несвязно и ругать кого-то жидомъ. Дарья Андреевна вѣжливо распрощалась съ нимъ, и, пришедши домой, легла спать.

Когда она проснулась, то Марья Андреевна была дома; она, сидя у стола, кушала куличъ съ сыромъ.

— Гдѣ была, сестрица?—спросила ее Дарья Андреевна, вставая.

— Была на соборной колокольнѣ, въ саду. Вездѣ скучно. Обѣдать хочу.

— Можетъ-быть, тамъ въ кухнѣ у хозяйки и есть что-нибудь.

— То-то, что нѣту. Я не замѣтила, чтобы братъ что-нибудь покупалъ.

Дарья Андреевна пошла въ кухню. Оказалось, что братъ ничего не заказывалъ сварить или изжарить.

— Вы не безпокойтесь, пожалуйста, я вамъ принесу всего, что̀ у насъ есть. Мы уже пообѣдали, но щи, поросенокъ и каша въ печкѣ.

— Мы вамъ заплатимъ за это,—сказала Дарья Андреевна.

Но хозяйка отъ платы отказалась, а попросила у Дарьи Андреевны заимообразно рубль сер. денегъ.

Первый разъ еще приходилось Дарьѣ Андреевнѣ справлять такимъ образомъ Пасху, но зато она имѣла свои деньги и могла заплатить за кушанье хозяйкѣ. Хотѣлось ей починить свои платья—комодъ запертъ; хватилась она той книжки, что далъ ей Морозовъ,—сестра ей сказала, что братъ и книгу заперъ, опасаясь, чтобы ея не украли.

Противна показалась Дарьѣ Андреевнѣ эта квартира, и она пошла на прежнюю квартиру къ Удинцовымъ. Но тамъ ждало ее новое горе. Оказалось, что Ольга Герасимовна на второй недѣлѣ великаго поста померла. Умирая она завѣщала Дарьѣ Андреевнѣ теплую мужнину шубу, свое теплое пальто, кофейникъ, чайникъ, платокъ и образъ Тихвинской Божіей Матери.

— А что, квартира у васъ не занята?—спросила Дарья Андреевна Елену Никоновну.

— Нѣтъ. Кто здѣсь найметъ? Вотъ развѣ лѣтомъ найметъ какой-нибудь приказчикъ съ барки. А ты переходи. Только теперь ужъ я съ тебя возьму три рубля.

Дарья Андреевна согласилась и, отдавши задатокъ, осмотрѣла обѣ комнаты. Пусто и мрачно было въ комнатѣ ея сосѣдки; чѣмъ-то нехорошимъ пахло, точно кто-нибудь здѣсь померъ или нѣсколько мѣсяцевъ лѣчился лѣкарствами. Слезы прошибли Дарью Андреевну, и она вышла изъ нея. Въ ея же комнатѣ все было по старому.

— Такъ я къ вамъ, Елена Ивановна, переѣду завтра.

— И переѣзжай. Я больно тебѣ буду рада. А лѣтомъ у насъ весело. Богъ дастъ, Максимко будетъ тебя съ Татьяной за Волгу возить.

Дома она застала брата.

— Братецъ, сколько я тебѣ должна за лѣченіе?—спросила она брата.

— А что?—спросилъ тотъ, очень удивленный ея вопросомъ.

— Я хочу переѣхать на старую квартиру, такъ мнѣ хочется покончить съ тобой счеты.

— Какіе счеты? что ты, Господь съ тобой! Да какъ же ты это отъ меня уходишь?

— Мнѣ тамъ лучше нравится.

— Не дури, пожалуйста. Платоновы тебя звали завтра обѣдать вмѣстѣ съ Машей. Вѣдь завтра Марья Никоновна именинница.

— Мнѣ нечего тамъ дѣлать.

— Ей-Богу, ты меня выводишь изъ терпѣнія.

— Вольно же тебѣ сердиться.

И она ушла къ Морозовымъ, у которыхъ просидѣла далеко за полночь.

Утромъ она опять пришла къ брату.

— Братъ, гдѣ мои вещи?

— На что?

— Я уже сказала, что ѣду на прежнюю квартиру. Неужели ты не знаешь моего характера!

— Изволь!—И братъ съ сердцемъ отперъ ящикъ комода и выбросилъ ея вещи.

— А деньги?

— Деньги я отдалъ за лѣченіе,—отвѣтилъ онъ сухо.

Дарья Андреевна простилась съ братомъ холодно. Марья Андреевна плакала, уговаривала ее не ходить на квартиру, а идти вмѣстѣ съ ними къ Платоновымъ. Но Дарья Андреевна пошла.

— Послушай, сестра: если съ тобой случится какое-нибудь несчастіе, ты ужъ на меня не разсчитывай.

— Я и не просила.

И она ушла.

Слезы душили ее, когда она шла по этому пере-

улку. Все, что было въ немъ, казалось ей противнымъ, кромѣ однихъ Морозовыхъ, съ которыми она не захотѣла проститься, потому-что ей не хотѣлось обнаружить передъ ними скаредность брата. А изъ оконъ попрежнему глядѣли мужчины и женщины; качавшаяся на качеляхъ молодежь останавливала веревки и смотрѣла на нее. Всѣмъ казалось странно, что молодая дѣвушка идетъ на второй день праздника съ узломъ.

— Куда это вы, барышня, съ узломъ-то?— спрашивали женщины.

— На квартиру,—отвѣчала Дарья Андреевна.

— Али не пожилось у братца-то?

Дарья Андреевна, не отвѣчая, шла молча и слышала мужской хохотъ.

На большой улицѣ она наняла извозчика и въ этотъ день обѣдала у Петерсонъ, съ которой и сговорилась быть у нея закройщицей за десять рублей въ мѣсяцъ.

— Теперь работы будетъ мало; развѣ-развѣ передъ чьими-нибудь именинами или балами. Дай бы Богъ, чтобы губернаторъ пріѣхалъ новый: тогда барыни завалили бы меня работой. А вотъ къ Рождеству, масленицѣ и Пасхѣ я вамъ буду прибавлять по пяти рублей. Жить, конечно, вы должны на квартирѣ; можете тамъ и шить на себя.

Однимъ словомъ, Петерсонъ была очень любезна съ Дарьею Андреевною,—любезна даже до того, что дала ей впередъ пять рублей и просила навѣщать ее послѣ обѣда часовъ въ шесть.

«Ну, теперь, слава-Богу, дѣла мои устроились. На десять-то рублей я проживу какъ-нибудь», думала она, идя домой. Вечеромъ она пила чай у хозяйки, и та сбавила съ нея за комнату цѣлый рубль.

Въ этотъ день у Платоновыхъ былъ обѣдъ и балъ по случаю дня ангела жены Елизара Аникіевича, Марьи Никоновны. У Платоновыхъ, какъ у богатыхъ людей, было въ обычаѣ справлять именины каждаго члена ихъ семьи, будь онъ хотя и спеленатый младенецъ; но именины старшихъ, какъ-то: его самого, жены и старшаго сына, справлялись самымъ торжественнымъ образомъ. Такъ и въ этотъ день приглашены были всѣ тузы города, начиная съ губернатора. Съ поздравленіемъ пріѣзжали даже и архіерей съ ректоромъ семинаріи, но они обѣдать не остались, а ограничились простою закускою. Надо замѣтить, что домъ Платонова былъ громадный, двухъэтажный, каменный, съ колоннами, и выходилъ на набережную. При немъ былъ большой садъ съ прудомъ, на которомъ было три острова, носящіе разныя названія. Балы или обѣды обыкновенно бывали въ огромной залѣ съ хорами; эта зала вмѣщала въ себѣ свободно семьсотъ человѣкъ, и въ ней обыкновенно давались спектакли и разные любительскіе вечера. По случаю праздника у Платонова сегодня было много народу; даже дамы поторопились поскорѣе кончить свои визиты, чтобы попасть на обѣдъ. Описывать обѣдъ съ его обществомъ, разговорами, рѣчами и тостами, я не стану; скажу только, что во все время на хорахъ играла музыка, собранная изъ театральнаго оркестра и изъ музыкантовъ дворянскаго собранія; гости вели себя чинно, хозяинъ держалъ себя съ достоинствомъ; мелкія сошки, въ родѣ совѣтника Яковлева и госпожи Телѣжниковой, молчали или говорили вполголоса съ сосѣдями; душою же всего общества былъ молодой Семенъ Елизаровичъ, остротамъ котораго смѣялся даже самъ губернаторъ.

Такъ-какъ Кузьма Андреевичъ и Марья Андреевна были люди маленькіе, и имъ не подобало сидѣть за однимъ столомъ съ такими важными лицами, то Елизаръ Аникіевичъ отрядилъ Кузьму Андреича присматривать за лакеями, чтобы они не украли серебра и не напились пьяны, а Марью Андреевну— наблюдать за исправностью женской прислуги. Само собою разумѣется, по окончаніи офиціальнаго обѣда, кончившагося въ семь съ половиною часовъ, имъ велѣно было обѣдать съ нянькой и гувернанткой. Послѣ обѣда половина гостей разъѣхалась отдохнуть до танцевъ, а половина разошлась по комнатамъ играть въ карты.

Вдругъ лакей приходитъ въ столовую, гдѣ обѣдали Кузьма Андреичъ съ сестрой и другіе.

— Пожалуйте, васъ требуетъ совѣтникъ Яковлевъ,—сказалъ онъ, обращаясь къ Кузьмѣ Андреичу.

— Гдѣ онъ?

— Въ кабинетѣ его пр-ва.

Когда Кузьма Андреичъ явился туда, въ кабинетѣ былъ и самъ Платоновъ, но онъ, при появленіи молодого Яковлева, тотчасъ же вышелъ. Совѣтникъ лежалъ на кушеткѣ съ разстегнутымъ жакетомъ и курилъ сигару.

— Здравствуй, заноза!—сказалъ онъ и протянулъ племяннику руку.

Племянникъ не понималъ: шутилъ съ нимъ дядя или нѣтъ.

— Бери, не бойся.

Племянникъ взялъ руку. Дядя крѣпко ее стиснулъ.

— Ты на меня сердишься?—спросилъ онъ племянника.

— Нѣтъ.

— То-то. Если ты и сердишься, такъ я не боюсь. Я вѣдь тебя хотѣлъ только попугать немножко. Хочешь получить ту должность, которую ты просилъ?

— Да она уже занята.

— Я того переведу на другую вакансію. Хочешь?

— Хочу, только не требуйте жертвъ.

— Дуракъ! Я вамъ благодѣтельствую, а онъ говоритъ про какія-то жертвы. Оселъ! что Дарья?

— Ушла въ магазинъ.

— Ну!

И дядя махнулъ рукой.

— А Марья?

— Марья здѣсь.

— Пошли-ка ее сюда. Завтра можешь принести прошеніе о переводѣ. Денегъ мнѣ не надо.

Пришла Марья Андреевна. Ипполитъ Аполлоновичъ сѣлъ.

— Христосъ воскресъ!—сказалъ насмѣшливо дядя, и поманилъ ее къ себѣ рукой, такъ какъ она стояла у порога.

Марья Андреевна не шла.

— Что жъ ты? Я вѣдь не собака, не кусаю... не нехристь.

Марья Андреевна подошла, дядя облобызалъ ее и усадилъ съ собой рядомъ.

— Ну, матушка, что вы подѣлываете?

Щеки Марьи Андреевны покраснѣли, и она не знала, что ей сказать.

— Что вы думаете дѣлать?

— Не знаю, дяденька.

— По стопамъ сестрицы хотите идти? Прекрасно. А позвольте васъ спросить: есть ли у васъ хоть сотая доля того таланта, какой имѣетъ Дарья Андреевна?

У Марьи Андреевны зарябило въ глазахъ.

— Вы думаете, что Дарья Андреевна блаженствуетъ!... Хотѣлось бы мнѣ видѣть васъ такою: безъ хлѣба, безъ квартиры, безъ родни.

У Марьи Андреевны пошли слезы изъ глазъ.

— Что же мнѣ дѣлать, дяденька?

— Выйти замужъ за того, кого я предлагалъ.

— Онъ мнѣ не нравится, за другого бы...

— Э! Губа-то у тебя не дура. Да ты пойми, что онъ — человѣкъ дѣльный, любимъ начальствомъ, имѣетъ свой домъ. А если онъ пьетъ, такъ кто же изъ насъ не пьетъ! Согласна ты за него замужъ?

Марья Андреевна молчала; она глотала слезы.

— Если ты не согласишься, то я твой поступокъ— помнишь, хотѣла удавиться—я его разглашу...

— Дяденька!..

— Согласна?

— Согласна.

Дядя поцѣловалъ ее. Въ кабинетъ вошла Анна Николаевна. Увидѣвъ мужа съ племянницей, она свирѣпо взглянула на него, онъ тотчасъ же объявилъ ей о согласіи Марьи Андреевны выйти замужъ за Соколова, и что ихъ, то-есть, Кузьму Андреича, Дарью Андреевну и невѣсту можно принимать.

— Дѣлайте, какъ знаете. Не знаю, изъ-за чего вы всякимъ... благодѣтельствуете.

— Ну, ну, пожалуйста!..

И онъ всталъ.

— Ты, Марья, можешь жить у брата до Ѳоминой недѣли. На Ѳоминой будетъ твоя свадьба. Приходите завтра съ братомъ къ намъ; у насъ будетъ и женихъ твой.

— Что мнѣ дѣлать, братецъ? Вѣдь я дала согласіе дядѣ, что выхожу за Соколова,—говорила Марья Андреевна брату, когда они шли домой уже на разсвѣтѣ.

— Это до меня не относится; а если дала слово— дѣлать нечего.

— Страшно...

— Ничего нѣтъ страшнаго; привыкнешь.

XXXII.

Прошло три мѣсяца послѣ описанныхъ происшествій. Кузьма Андреевичъ служилъ подъ начальствомъ дяди помощникомъ бухгалтера, а Марья Андреевна наслаждалась замужествомъ, жила съ мужемъ въ его ветхомъ домѣ, и жизнію своею была довольна. Супругъ ее любилъ, деньги приносилъ въ цѣлости, а главное, не пьянствовалъ сильно: онъ хотя и выпивалъ, но въ мѣру; случалось, приходилъ онъ и пьяный домой изъ гостей, но не буйствовалъ и не дрался. Супруги сошлись, то-есть были пара другъ дружкѣ; Марья Андреевна была лѣнива: управившись въ кухнѣ, если не было починки, спала; мужъ былъ невзыскателенъ: ему только бы обѣдъ былъ изготовленъ по его вкусу, постель хорошо убрана и жена была дома. Послѣ обѣда онъ спалъ, послѣ сна пилъ чай и уходилъ на службу или вгости поиграть въ стуколку, послѣ этого спалъ; утромъ, послѣ чаю, уходилъ на службу. Даже по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ онъ уходилъ въ палату, а оттуда въ церковь. Дома, несмотря на то, что у него была жена, ему было скучно; онъ такъ привыкъ къ своей палатѣ и товариществу, что закройся палата на недѣлю, или хоть провались она, онъ и тутъ сталъ бы ходить кругомъ своего облюбленнаго мѣста. Кромѣ своей счетной части, ничего онъ не смыслилъ, и если ему приходилось сочинять докладъ, то онъ составлялъ по образцу старыхъ докладовъ, а самъ изъ своей головы онъ ничего не могъ выдумать, потому-что передъ его глазами постоянно мелькали счеты и цифры. Онъ не читалъ никакихъ книгъ, и если дома ему нечего было дѣлать, онъ сидѣлъ у окна, мурлыкалъ пѣсни духовнаго содержанія и барабанилъ по столу, окну или стулу. Этимъ и объясняется его молчаливость, которая стала переходить и на Марью Андреевну. Кромѣ скотскихъ ласкъ, у него другихъ разговорныхъ обращеній съ женою не было. Встанутъ они—кухарка уже поставила самоваръ, молча умоются, молча усядутся пить чай.

— Иванъ Петровичъ, что сегодня изготовить?— спроситъ его жена.

— А?—спроситъ мужъ, какъ будто не дослышавшій словъ жены.

Жена повторитъ вопросъ.

— Что хочешь.

— Все-таки... Тебѣ, можетъ-быть, не понравится. Что хочешь? Щи, жаркое, кашу?

— Я хочу телятины.

— Ну, телятину.

Станетъ онъ одѣваться.

— Ты бы драповыя брюки надѣлъ. А эти, смотри, съ дырой.

— А?

Жена повторитъ.

— Ладно и эти.

Одѣвшись мужъ уходитъ, не простясь съ ней, но ему нравится, что жена провожаетъ его за ворота.

И Марья Андреевна не жалуется. У нея даже отпала охота ходить куда-нибудь гулять. Впрочемъ, у нихъ была корова, курицы, огородъ, за которымъ Марья Андреевна усердно ухаживала. Только за обѣдомъ, выпивши водки, мужъ былъ говорливъ, но тутъ онъ разсказывалъ, за что его похвалилъ совѣтникъ, за что совѣтникъ обругалъ такого-то столоначальника и т. п. въ родѣ этого. Марьѣ Андреевнѣ, впрочемъ, жизнь постоянно дома на четвертый мѣсяцъ стала надоѣдать; кромѣ рынка и лавочекъ она никуда не ходила, даже не бывала у своей сестры, которая у нея бывала нѣсколько разъ. Мужъ не позволялъ ей ходить, и принимать велѣлъ только свою

родню, осебенно Кузьму Андреича, съ которымъ былъ очень друженъ; онъ даже и въ церковь не пускалъ ея, подъ тѣмъ предлогомъ, что ей нужно стряпать. На гулянья онъ не любилъ ходить, отзываясь тѣмъ, что ему противно; но онъ въ душѣ сознавалъ, что онъ маленькій чиновникъ, и ему не слѣдуетъ гулять съ женой среди аристократіи. Онъ самъ некрасивъ, да и жена некрасива—смѣяться будутъ... И шелъ къ сосѣду, помощнику столоначальника той же палаты, у котораго жило трое нахлѣбниковъ, играть въ бабки.

Такъ и шло время. Наконецъ, Марья Андреевна почувствовала, что она беременна, но ей совѣстно было сказать объ этомъ мужу. Однако, сказала.

Мужъ улыбнулся, потомъ задумался, но ничего не сказалъ.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этого умеръ отъ удара Ипполитъ Аполлоновичъ. На похоронахъ его, конечно, были всѣ служащіе, и всѣ перепились. Вотъ съ этого-то времени и началась для Марьи Андреевны каторжная жизнь. Она еще не знала того, что ея мужъ пьетъ запоемъ и въ это время дѣлаетъ страшныя безобразія. И если бы она была женщина разсудительная, то могла бы его сдержать, но она хотѣла вытрезвить мужа крикомъ, руганью, упреками тѣмъ, что онъ заѣлъ ея жизнь; стала просить начальство выдавать жалованье ей, а не мужу, и этимъ много вредила мужу. Черезъ мѣсяцъ его пьянства, его лишили должности, а черезъ двѣ недѣли уволили въ отставку. Это сильно взбѣсило Соколова. Онъ сталъ бить жену, упрекая ее тѣмъ, что она вышла за него ни съ чѣмъ, а единственно изъ-за его должности, вымогалъ отъ нея вещи; такъ, въ какіе-нибудь три мѣсяца она продала корову, заложила свой салопъ и подвѣнечное платье. Марья Андреевна стала бѣгать изъ дома, ночевала то у сестры, то у брата, мужъ гонялся за ней, дѣлалъ сцены Кузьмѣ Андреичу и Дарьѣ Андреевнѣ; но передъ послѣдней всегда усмирялся.

— Пожалѣйте вы вашу жену: вѣдь она беременна,—говорила Дарья Андреевна.

— Она меня не жалѣетъ; она у меня шестьдесятъ рублей украла, когда я былъ трезвый.

— Врешь, подлецъ!—говорила на это Марья Андреевна.

— Ну, вотъ видите, она ругается. А вотъ если бы вы были моя жена, я бы такъ не пилъ. А то я ее купилъ изъ-за должности. А какъ благодѣтель умеръ, меня и вонъ.

— Поступите на другое мѣсто.

— И поступлю.

А тутъ уже и пить не на что было, потому-что у пьянаго являлась охота ходить Богъ знаетъ куда, гдѣ у него и вытаскивали деньги; такъ, забравшись съ шестьюдесятью рублями, отнятыми у жены, въ одинъ домъ, куда неприлично ходить женатому человѣку, онъ тамъ ночевалъ, но зато у него тамъ всѣ деньги вытащили. Сталъ онъ клянчить, просить съ угрозами, и радъ былъ каждой гривнѣ, и наконецъ допился до бѣлой горячки.

Вылѣчившись отъ этой болѣзни, онъ далъ зарокъ не пить больше водки, отслужилъ благодарственный молебенъ о своемъ выздоровленіи и дѣйствительно недѣли три не пилъ водки ни капли и въ это время такъ зарекомендовалъ себя съ хорошей стороны, что ему въ губернскомъ правленіи дали должность помощника экзекутора, а Марья Андреевна успѣла уплатить половину долговъ за свой салопъ. Ребенка она родила мертваго; на похоронахъ было человѣкъ пять товарищей Соколова. Соколовъ попробовалъ выпить и напился пьянъ. Жена стала ругать его; мужъ запилъ слегка. Предчувствуя запой мужа, жена пустила въ лишнюю комнату холостого чиновника съ хлѣбами за восемь рублей въ мѣсяцъ. Мужъ сталъ ревновать, придираться къ чиновнику и запилъ. Опять пошло все вверхъ дномъ: онъ сталъ бить жену, жена бѣгала, онъ закладывалъ послѣднія вещи, и когда уже нечего было закладывать, просилъ у товарищей. Наступила зима. Изъ губернскаго правленія его прогнали, онъ поступилъ въ судебную палату на переписку и хотя пилъ, но на службу являлся. Теплой одежды у него не было. Вотъ онъ и рѣшился попросить у Дарьи Андреевны шубу, что благословила ей старуха Мартынова.

— Дарья Андреевна, голубушка, дайте мнѣ шубу. Она у васъ такъ лежитъ, а мнѣ пригодится,—умолялъ онъ Дарью Андреевну.

— А если вы пропьете?

— Провалиться мнѣ на семъ мѣстѣ!

Дарья Андреевна дала. На другой день приходитъ къ ней Марья Андреевна избитая и плачетъ.

— А шуба на немъ?—спросила Дарья Андреевна.

— Какая шуба?

— Да я ему дала мартыновскую.

— Зачѣмъ же ты дала-то?

— Какъ зачѣмъ? Проситъ. Вѣдь холодно. Я думала, что я этимъ принесу пользу.

Черезъ день приходитъ къ Дарьѣ Андреевнѣ Соколовъ.

— Душечка, сестричка, дай полтинникъ.

— А шуба?

— Заложена.

— Гдѣ? я выкуплю.

— Не скажу.

Такъ и пропала мартыновская шуба. Искала ее Дарья Андреевна и на толкучкѣ, но не нашла.

Но Соколовъ не одною Дарьею Андреевною, но и простотой другихъ пользовался; онъ надувалъ даже и такого человѣка, какъ Кузьма Андреичъ; такъ надоѣстъ, что тотъ, чтобы только отвязаться отъ него, дастъ гривенникъ.

Разъ Соколовъ приходитъ къ Кузьмѣ Андреичу. Тотъ свѣрялъ счеты.

— Братъ! Дай мнѣ пять рублей!

— Что у меня, банкъ, что ли, для тебя?

— Дай! Иначе—въ Волгу брошусь. Мнѣ нужно кольцо выкупить.

— Нѣтъ у меня денегъ.

— Ну, значитъ ты жидъ... Ну, дай хоть рубль.

— Уйди вонъ, мнѣ некогда.

— Не дамъ.

— А если я дѣло украду и продамъ?

— Отвяжись ты отъ меня!—проговорилъ свирѣпо Кузьма Андреичъ и бросилъ ему пять копеекъ.

Черезъ день послѣ этого его арестовали за кражу дѣла.

Марья Андреевна плакала, проклиная свою судьбу, себя и дядю, устроившаго ей такую жизнь. Но поправить уже было нельзя.

XXXIII.

Ни на Пасхѣ ни на Ѳоминой недѣлѣ въ магазинѣ Петерсонъ не было работы со стороны, а чтобы дѣвушкамъ не жить у нея даромъ и ѣсть ея хлѣбъ, она придумала для каждой изъ нихъ различный родъ занятій: такъ одна должна была чистить посуду и послѣ этого починивать ея старыя платья; другая—мести полъ, сметать пыль и что-нибудь распарывать, выдергивать нитки; третья должна была цѣлый день возиться съ пиньономъ, четвертая—сшивать разнообразные лоскутки для одѣяла. А чтобы не оставлять праздными Паулину и Дарью Андреевну, она и для нихъ придумала средства: такъ, Дарьѣ Андреевнѣ поручила перешить свой лисій салопъ, а Паулину заставила перешить своему сыну зимнее пальто. Такъ-что, въ сущности, всѣ были заняты на хозяйку и поэтому дѣлали не торопясь. Но Дарья Андреевна думала, что, пожалуй, Петерсонъ не заплатитъ ей денегъ, и черезъ двѣ недѣли послѣ Пасхи рѣшилась переговорить съ ней.

— Я думаю, милая Эмилія Карловна, вамъ лучше распустить всѣхъ насъ, а то за что же я-то буду получать деньги?

— Ну, ужъ это дѣло мое.

— Да помилуйте, мы работаемъ только до обѣда.

— А! вамъ не нравится на меня работать? Такъ не угодно ли вамъ шляпки шить?

Стала Дарья Андреевна шить шляпки. Сперва работа показалась трудною, но потомъ понравилась, тѣмъ болѣе, что за матеріей, тюлемъ, лентами и цвѣтами Эмилія Карловна посылала въ магазинъ ее, и она съ двумя, тремя купцами успѣла такъ сойтись, что они предлагали ей работу: одинъ дѣлать цвѣты, другой — вязать кружева, и такъ какъ она за два дѣла взяться не могла, то согласилась вязать кружева по тѣмъ рисункамъ, какіе имѣлись у купца, на очень выгодныхъ условіяхъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Ледъ уже давно прошелъ на Волгѣ. Волга разлилась до того, что чуть-чуть вода не дошла до огородовъ, принадлежавшихъ домамъ, противоположнымъ тому порядку домовъ, въ одномъ изъ которыхъ она жила. Погода была хорошая; окно у Дарьи Андреевны, когда она была дома, было постоянно отворено и она сидѣла съ работой около него, часто взглядывая на величественную и бурную рѣку, по которой плыли сотни барокъ и судовъ съ десятками тысячъ голоднаго народа, спроваживая богатства въ дальнія губерніи, а можетъ-быть, и за границу, по которой со свистомъ плыли пассажирскіе и съ баржами пароходы, на которой не умолкала дѣятельность ни днемъ ни ночью. Это весеннее время давало здѣшнимъ мѣщанамъ доходъ, потому-что каждый домъ былъ наполненъ бурлаками, судорабочими, приказчиками, промерзшими на водѣ до костей, жаждавшими теплой, вкусной и сытной пищи. Они здѣсь находили добрыхъ хозяекъ, ласковыхъ хозяевъ, никогда ни съ кого не требующихъ паспортовъ, находили здѣсь горячую баню, теплый уголъ, горячія, вкусныя щи, хлѣбъ и кашу, за что съ нихъ брали не болѣе десяти копеекъ съ человѣка, такъ что имъ и въ городъ ходить было незачѣмъ, а если и ходили бурлаки, или судорабочіе, или приказчики въ городъ, то первые—поглазѣть на невиданныя диковинки или показать эти диковинки товарищамъ, еще не бывшимъ здѣсь, а приказчики,—чтобы погулять съ дѣвицами. Такъ и у Удинцова въ домѣ помѣщалось до пятнадцати человѣкъ бурлаковъ и судорабочихъ, а въ той комнатѣ, въ которой жила старушка Мартынова, помѣщалось трое приказчиковъ. И весело же было Дарьѣ Андреевнѣ: далеко за полночь судорабочіе, успѣвшіе выспаться днемъ, играли на гармоникахъ и балалайкахъ и пѣли пѣсни; только сосѣди надоѣдали ей своимъ залихватскимъ пьянствомъ и непріятными для слуха дѣвушки выраженіями; случалось, что они пьянствовали и играли въ карты до утра, и она слышала, какъ кто-нибудь изъ нихъ ходилъ за пивомъ и водкой въ кабакъ, находившійся въ домѣ Удинцова, въ которомъ торговалъ сынъ его, Максимъ Петровичъ.

Жизнь Дарьи Андреевны шла незамѣтно для нея. Утромъ она вставала рано, убирала комнату или стирала бѣлье въ сѣняхъ, починивала или вязала, пила кофе и шла на работу; послѣ обѣда—она обѣдала у Удинцовыхъ за четыре рубля въ мѣсяцъ—ей не удавалось спать, потому-что ей нужно было сходить въ библіотеку за книжкой, а книжки она читала скоро. Была она и въ театрѣ раза два, но ей отчего-то скучно тамъ сдѣлалось.

Къ Троицѣ появилась въ магазинѣ работа, такъ что уже некогда было вязать кружева и читать книжки. А такъ какъ работы было не очень много, то хозяйка предоставила магазинъ въ ея полное распоряженіе. Теперь уже она умѣла кроить и шить что угодно; у нея появилось нѣсколько знакомыхъ мастерицъ изъ другихъ магазиновъ; отъ нихъ она узнала, что жизнь закройщицъ вездѣ одинакова, только платы онѣ получали больше Дарьи Андреевны. Однако Дарьѣ Андреевнѣ не хотѣлось отходить отъ Петерсонъ, которая плату ей не задерживала и, работая у нея, она получала, какъ я уже сказалъ, отъ купцовъ работу на домъ. Петерсонъ на нее не кричала, а была всегда вѣжлива; Паулина не ссорилась, а совѣтовалась съ Дарьей Андреевной; дѣвочки ее любили за то, что она дозволяла имъ играть, покупала имъ изрѣдка бѣлый хлѣбъ, упросила хозяйку поставить въ чуланѣ для нихъ двѣ кровати, на что даже сама пожертвовала полтинникъ, а по воскреснымъ днямъ отпрашивала ихъ отъ Петерсонъ къ себѣ, гдѣ онѣ и проводили цѣлый день. Дома она учила ихъ грамотѣ, читала басни и объясняла то, что сама знала. Бывалъ у нея и Морозовъ, который тоже съ своей стороны что-нибудь разсказывалъ дѣвочкамъ и смѣшилъ ихъ до слезъ. Она такъ привязалась къ дѣвочкамъ, ей такъ хотѣлось сдѣлать имъ много хорошаго, что она почти всѣ лишнія деньги расходовала на нихъ. При такомъ порядкѣ вещей деньги у нея не водились, и она часто принуждена была ухо-

дить изъ дому безъ кофе и не жечь по ночамъ свѣчи. Но все-таки ей было пріятно, что она хоть и бѣдна, но живетъ своимъ трудомъ. Но и эта жизнь начала ей надоѣдать. Сядетъ она къ окну, уставится она глазами на рѣку и задумается. Долго она думаетъ, а о чемъ—и сама не умѣетъ дать себѣ отчета: все какія-то строчки, петли, кружева... Скучно, сердце щемитъ. Завтра надо вставать рано, идти въ магазинъ... Не пошла бы—да нельзя; все равно хозяйка пошлетъ и сочтетъ ее за лѣнивую, пожалуй, еще вычтетъ изъ жалованья. Нѣтъ человѣка такого, съ которымъ бы можно было въ эту прекрасную ночь сидѣть у окна или прокатиться по рѣкѣ. А говорить хотѣлось, и много бы хотѣлось высказать. «Что это за жизнь!»—думала она, глядя на рѣку. «Одна и одна. Денегъ нѣтъ, работа трудная, надоѣло; другую бы... Но какую? Вонъ сестра замужемъ и говоритъ—счастлива, братъ тоже, кажется, счастливъ». И тутъ ей припомнились замѣченные ею воздушные поцѣлуи, и сердце опять щемило Богъ знаетъ отчего. «Вонъ у каждой мастерицы есть любовникъ... Носятъ они шелковыя платья. А я? Нѣтъ, я не хочу такъ жить, а если полюблю кого—ну, тогда... Нѣтъ, страшно идти замужъ. Надо сперва нажить свои деньги, чтобы мужъ не упрекнулъ меня ничѣмъ, чтобы я была независима отъ него».

И чѣмъ дольше она жила, тѣмъ больше ощущался недостатокъ во всемъ. Купила отъ остатковъ жалованья ботинки—и всѣ деньги; рубашки рвутся, одно платье и починивать трудно, на другое заплатъ не подберешь. Стала она больше прежняго работать на купцовъ, но какъ ни сиди, какъ ни напрягай силъ, а больше того, что можешь сдѣлать—не сдѣлаешь. Посмотрится она послѣ безсонной ночи въ зеркало—лицо блѣдное, худое, некрасивое. И спрашиваетъ она себя: «зачѣмъ я изнуряю себя? Для кого это я стараюсь и для чего?» Но тутъ же является и разрѣшеніе этого вопроса: «а квартира, кушанье, одежда? Вѣдь ты не у родни, не у мужа живешь, не воруешь, не клянчишь деньги»...

А счастье, разсуждая съ точки зрѣнія Кузьмы Андреевича и подобныхъ ему людей, почти было въ ея рукахъ, она этого не замѣчала. Всѣ любезности къ ней Петерсонъ она относила къ своему усердію; на заигрыванія же ея сына, Николая Павловича, она отвѣчала насмѣшками. Онъ теперь казался ей еще пошлѣе прежняго, потому-что ему не мѣшали. Но не такъ думали мать съ сыномъ. Мать думала, что сынъ уже достигъ своей цѣли, что ея мастерица до того влюблена въ него, что души въ немъ не чаетъ, и торопила его жениться на ней, тѣмъ болѣе, что ей было досадно то, что Дарья Андреевна беретъ отъ купцовъ на домъ работу и нѣкоторымъ образомъ подрываетъ ея ремесло; но она заблаговременно радовалась тому, что если Дарья Андреевна будетъ женою Славина, то у нея будетъ много работы, тѣмъ болѣе, что и дѣвочки любятъ ее. Но Славинъ Дарьи Андреевны не любилъ. Хотя онъ и разсорился и разошелся окончательно съ мѣщанкой Гавриловой и не могъ жить безъ привязанности къ кому-нибудь, но Дарья Андреевна не подходила подъ его характеръ. Ему нужна была женщина здоровая, немножко вѣтреная, но такая, которая бы во всемъ слушалась его и ни въ чемъ не перечила. Дарья же Андреевна на видъ была хилая, острила надъ нимъ, ни во что ставила его чиновничество и никакъ не допускала, чтобы онъ ее обнялъ. Но хотя онъ ея и не любилъ, а жениться ему все-таки хотѣлось на ней для того, чтобы завладѣть этой гордячкой и попробовать на ней свои кулаки и потомъ продолжать жить по старому. Онъ сознавалъ не хуже матери, что такая жена доставитъ магазину много работы, и ему тогда смѣло можно забирать у жены деньги на карточную игру. Наконецъ, онъ пересталъ ухаживать за нею дома и сталъ приглашать ее гулять или въ театръ, но Дарья Андреевна отказывалась. Обѣщалась она ему прійти въ Троицу въ садъ, но проспала, а потомъ читала книги. И только тридцатаго августа, когда она гуляла на набережной съ Марьей Андреевной, ему удалось погулять съ ней, но тутъ сказать ничего не пришлось, потому-что Дарья Андреевна повела свою сестру къ себѣ ночевать.

— Позвольте васъ проводить до дому?—напрашивался Славинъ.

— Извольте, если угодно.

Когда они подошли къ калиткѣ удинцовскаго дома, Славинъ напросился къ ней въ комнату. Она пустила. Немного погодя Славинъ вызвалъ ее въ сѣни.

— Что вамъ угодно? — спросила его Дарья Андреевна.

— Дарья Андреевна... можно къ вамъ ходить?

— Ходите.

Онъ ее обнялъ, но Дарья Андреевна вырвалась, убѣжала и заперла дверь. Поступокъ Славина ее жестоко оскорбилъ.

Славинъ сталъ стучаться.

— Кто тамъ?

— Это я. Я перчатки позабылъ.

— Никакихъ нѣтъ перчатокъ.

Такъ Славинъ и ушелъ.

На другой день, когда Дарья Андреевна пришла къ Петерсонъ, хозяйка была сердита: дѣвочки были въ слезахъ, у Паулины волоса были взбиты.

— Вы очень поздно стали ходить. Больно важны сдѣлались, — проговорила хозяйка, когда Дарья Андреевна вошла.

— Я всегда прихожу въ восемь часовъ.

— А теперь девять.

— Ну, извините, если опоздала.

— Что такое съ нею сдѣлалось?—сказала Дарья Андреевна Паулинѣ, когда ушла хозяйка въ свои комнаты.

— А чортъ ее знаетъ—съ утра бѣсится.

Передъ обѣдомъ, еще до прихода сына, Петерсонъ позвала къ себѣ Дарью Андреевну.

— Былъ у васъ вчера мой сынъ?

— Былъ.

— Что онъ у васъ дѣлалъ?

— А ничего: посидѣлъ и ушелъ. Нельзя же мнѣ было не пригласить его, если онъ самъ напросился.

— Это вамъ не дѣлаетъ чести: вы дѣвушка молодая и вдругъ приглашаете молодого мужчину. А я еще считала васъ...

— Но у меня была сестра, замужняя женщина.

— Все равно.

Этотъ выговоръ возмутилъ Дарью Андреевну и она стала думать: какимъ образомъ Петерсонъ могла узнать, что у Дарьи Андреевны былъ Славинъ? На Паулину она не думала; развѣ кто-нибудь другой сказалъ.

Съ этихъ поръ отношенія Петерсонъ къ Дарьѣ Андреевнѣ измѣнились: она сдѣлалась строга, придирчива, не отпускала ея изъ магазина до девяти часовъ вечера, дѣвочкамъ запретила играть и не стала отпускать ихъ къ Дарьѣ Андреевнѣ и, наконецъ, за сентябрь не заплатила денегъ, а просила подождать.

— Мнѣ, Эмилія Карловна, на столъ и за квартиру не хватитъ пяти рублей.

— Неужели вамъ хозяйка не можетъ подождать какихъ-нибудь пустяковъ?

— Нѣтъ, это не пустяки. Они люди бѣдные.

— Подождите.

— Въ противномъ случаѣ я буду искать другого мѣста.

— Можете.

— Я не шучу.

— Да и я тоже хочу нанять другую мастерицу— замужнюю.

— Это дѣло ваше!—И Дарья Андреевна ушла изъ магазина къ купцамъ, отъ которыхъ и взяла разной работы: сшить двѣ дѣтскихъ шубки, два дѣтскихъ пальто и т. п.

Вечеромъ пришелъ къ ней Славинъ.

— Вы зачѣмъ? Изъ-за васъ я сколько непріятностей перенесла отъ вашей матери.

— Извините, Дарья Андреевна... Будьте моей женой!! Мама этого хочетъ, мама хочетъ вамъ весь магазинъ предоставить.

— Вы это серьезно говорите?

— Серьезно. Не сердитесь на маму. Пойдемте къ ней.

— Зачѣмъ?

— Вы скажете, что любите меня...

— Никогда!! Вы за этимъ и пришли собственно ко мнѣ?

— Да.

— Это вамъ дѣлаетъ честь. Я вамъ скажу, что я за васъ замужъ не пойду, а вашей мамѣ передайте, чтобы она прислала мнѣ остальные пять рублей, и я больше къ ней не приду.

— Вотъ вамъ ваши пять рублей,—проговорилъ Славинъ запальчиво и бросилъ ей пятирублевую бумажку.

— Значитъ, кончено.

— Значитъ...

И Славинъ, не простившись съ Дарьей Андреевной, ушелъ.

«Что это такое значитъ? Гдѣ же хорошіе-то люди? Это какіе-то мошенники. Кругомъ идетъ какая-то постыдная купля!»—думала Дарья Андреевна по уходѣ Славина, и ей такъ сдѣлалось горько, что она заплакала.

Порѣшивши такимъ образомъ съ Петерсонъ, Дарья Андреевна переѣхала къ Морозовымъ на ту квартиру, которую занималъ Кузьма Андреевичъ. На квартирѣ у Удинцова ей не хотѣлось жить, потому-что она знала, каково тамъ житье зимой, а ей теперь, можетъ-быть, придется работать дома. Морозовъ отъѣздъ Кузьмы Андреевича изъ его дома объяснилъ такъ:

— Несмотря на жидоморство, вашъ братецъ, уѣзжая отъ насъ, сказалъ, что онъ, какъ должностной человѣкъ, долженъ теперь имѣть квартиру около центра; еще и потому, что, во-первыхъ, Платоновы обѣщали ему какую-то должность у себя, а во-вторыхъ, видите ли, нужно принимать столоначальниковъ и т. п. лицъ. Это ли не форсъ! Жаль вотъ только, онъ Катю свою бросилъ.

— Какую Катю?

— А вонъ моего кума дочь. Я ея, впрочемъ, не одобряю—вѣтреная: готова хоть кому на шею вѣшаться. Да, впрочемъ, онъ на ней едва ли женится: она мнѣ говорила какъ-то, что онъ женится на богатой, чтобы купить должность бухгалтера. Въ совѣтники мѣтитъ! А у моего кума кромѣ дома, кабака со склянками да домашнихъ вещей ничего нѣтъ, да и кромѣ того онъ въ своемъ присутственномъ мѣстѣ въ загонѣ, т.-е. не даютъ ходу. Ну-съ, а вы-то, сударыня моя, что теперь намѣрены предпринять?

— Я буду брать работу изъ гостинаго двора.

— Ну, этого мало. Положимъ, съ васъ-то хватитъ, только хватитъ ли на хлѣбъ.

— Я, когда работала у Петерсонъ, заработывала дома 3 и 5 рублей.

— А вотъ я хочу учредить школу; такъ, знаете, не офиціальную, а просто попрошу родителей посылать своихъ ребятишекъ ко мнѣ. А они пошлютъ, потому-что здѣсь Сашеньку всѣ любятъ и знаютъ, что она дама образованная. Вотъ она и будетъ обучать дѣтей, а когда ей будетъ некогда, вы поможете.

— Да я почти ничего не знаю.

— Неужели вы не умѣете читать и писать?

— Это-то я умѣю.

— Ну, больше съ васъ ничего и не требуется. Если родители будутъ намъ платить, то вы будете пользоваться даровою квартирою и столомъ.

— Это ужъ черезчуръ!

— Вы скажете—мечты! Хорошо, если онѣ сбудутся!

Итакъ, Дарья Андреевна устроилась. Ей дали кровать, кошму, вмѣсто перины или тюфяка, подушку, столъ и два стула, а такъ-какъ у нея вещей было немного, то дали ей небольшой сундучокъ. За комнату, ту, въ которой спалъ Кузьма Андреевичъ, Морозовъ взялъ только рубль; пищу себѣ она должна была готовить сама.

Начала жить Дарья Андреевна самостоятельно «Теперь я сама себѣ барыня», думала она. Но эта свобода на первыхъ же порахъ показала свою прелесть. Черезъ недѣлю она истратила всѣ деньги частью на кушанья, частью на покупку нитокъ и своего утюга. Сдала она работу одному купцу и стала просить денегъ—онъ сказалъ, что нѣтъ мелкихъ, и отозвался, что въ настоящее время ему довольно дѣтскаго платья. Другой купецъ хотя и далъ денегъ,

но за работой велѣлъ приходить черезъ двѣ недѣли. А денегъ она получила всего семьдесятъ-пять коп.

— Не можете ли вы рекомендовать меня кому-нибудь?—просила Дарья Андреевна купца.

— Не знаю-съ. Нынче столько расплодилось швей, что трудно навѣрное сказать, у кого какая есть надобность въ нихъ. Притомъ же теперь и время-то такое.

Дѣлать нечего; скучно. Деньги выходятъ. Морозовъ тоже сердитъ.

— Чортъ-знаетъ, что̀ за время такое. Дѣло проигралъ,—не захотѣли рѣшить по моимъ доказательствамъ. А истецъ, чортъ бы его побралъ, не соглашается апеллировать въ сенатъ.

— А мальчики?

— Свиньи родители—вотъ что! Они говорятъ, что я ребятишекъ избалую, а въ школѣ ихъ, по крайней мѣрѣ, если ничему не выучатъ, то пороть станутъ.

Стала Дарья Андреевна ходить по магазинамъ—нигдѣ нѣтъ работы. Въ модные магазины не принимаютъ—говорятъ, и самимъ нечего дѣлать потому-что пріѣхалъ какой-то французъ, повѣсилъ вывѣску, наприниналъ мальчиковъ и подмастерьевъ, и теперь вся дамская аристократія кинулась къ нему, хотя, если понимать вывѣску, онъ портной по мужской части, а никакъ не дамскій. Вслѣдствіе чего онъ открылъ два магазина, мужской и женскій, въ который и выписалъ изъ Петербурга француженку съ двумя закройщицами.

Дѣло становилось плохо для Дарьи Андреевны, а тутъ еще пріѣхала мачеха съ Владиміромъ и братомъ Осипомъ. Они остановились у Дарьи Андреевны, на томъ основаніи, что Анна Николаевна Яковлева уѣхала въ Москву и домъ свой сдала какому-то совѣтнику, Кузьма Андреевичъ занималъ только одну комнату, а къ Платоновымъ они не посмѣли идти. Кромѣ этого у Осипа Андреевича былъ свой разсчетъ: онъ думалъ, что Морозовъ, какъ дѣлецъ, поможетъ ему выпутаться изъ бѣды. Но какъ бы то ни было, а пріѣздъ гостей сильно безпокоилъ Дарью Андреевну: вѣдь ихъ надо кормить, а на какія деньги? Хорошо, что мачеха привезла съ собой салопъ Дарьи Андреевны, и вотъ, въ отсутствіи мачехи, Дарья Андреевна заложила этотъ салопъ, стоющій рублей полтораста, за восемь рублей на три мѣсяца. Но къ счастью родные гостили недолго. Какъ только Осипъ Андреевичъ увидалъ, что Морозовъ за такія каверзныя дѣла не берется, то переѣхалъ къ брату, а Марина Осиповна, сдавши Владиміра въ военное училище, уѣхала домой.

Кое-какъ цѣлый мѣсяцъ Дарья Андреевна жила тѣмъ, что шила въ одинъ магазинъ мужскія сорочки, но за полторы недѣли до Рождества и этотъ родъ ремесла прекратился. Къ Рождеству счастіе ей улыбнулось. Объ ней вспомнили Платоновы и послали за нею своего лакея и лошадь съ санками.

Когда Дарья Андреевна пріѣхала къ Платоновымъ, ее всѣ, начиная со старухъ и кончая дѣтьми, приняли радушно. Женщины по обыкновенію поцѣловали ее, или, вѣрнѣе, сдѣлали видъ, что цѣлуютъ, мужчины поздоровались за руки. За этимъ послѣдовали укоризны: что она гордячка, бѣглянка, не хочетъ ихъ знать, живетъ здѣсь давно и не навѣстила ихъ до сихъ поръ, что они могли помочь, дать хорошее мѣсто; потомъ начались разспросы, какъ она живетъ, что дѣлаетъ, хотя имъ все было извѣстно изъ разсказовъ Кузьмы Андреевича, который уже занимался у нихъ и теперь даже былъ на лицо. Когда все это было кончено, Дарью Андреевну усадили за столъ закусывать и пить кофе, такъ-какъ времени было еще второй часъ. За завтракомъ толковали о разныхъ разностяхъ. Самъ Платоновъ толковалъ о прочитанномъ въ газетахъ. Семенъ Елизаровичъ острилъ и изрѣдка отпускалъ шуточки надъ Дарьей Андреевной. Время шло незамѣтно, весело. Послѣ кофе мужчины разошлись каждый по своимъ комнатамъ, кресло съ Лукерьей Васильевной, восьмидесятилѣтней дряблой старухой, матерью Елизара Аникіевича, укатили въ ея комнаты, а Вѣра Яковлевна, жена старшаго сына Платонова, Павла Елизаровича, позвала Дарью Андреевну за собой.

— Дашечка, у меня до тебя есть просьба. Можешь ты сдѣлать?—начала Вѣра Яковлевна.

— Если возможно—сдѣлаю.

— Видишь ли, въ чемъ дѣло. Мнѣ папа, еще къ именинамъ, купилъ бѣлаго атласу, но мнѣ не хотѣлось тогда шить платья. Я призывала модистку, которая постоянно на насъ шьетъ, но она запросила безбожную цѣну, и я сказала ей, что подумаю. Можете вы мнѣ сшить?

— Могу; вамъ скоро?

— О, нѣтъ, къ Новому году. А ты, душечка, не испортишь?

— Зачѣмъ же. Я вѣдь была закройщицей: кроила и платья, и шляпки.

— Такъ, пожалуйста, займись; мы тебѣ заплатимъ.

— Я вамъ и такъ могу сдѣлать, тѣмъ болѣе, что мнѣ теперь нечего дѣлать. Позвольте, я сниму съ васъ мѣрку—мнѣ только нужно высчитать вершки, и больше ничего.

— Вы уже и сейчасъ... Мнѣ, душечка, теперь некогда. Надѣюсь, вы погостите у насъ?

— Покорно благодарю.

— Мама хочетъ, да и папа тоже, чтобы вы здѣсь, у насъ, работали. Оно, знаете, у васъ запачкается...—И барыня ушла.

«Опять насиліе. Нѣтъ, надо уѣхать отсюда куда-нибудь... А впрочемъ, хотѣли дать денегъ».

Но ни въ этотъ ни на другой день съ Вѣры Яковлевны не удалось снять мѣрки, а Дарью Андреевну не пускали. Съ нею были всѣ ласковы, старики шутили, дѣти заставляли ее носить ихъ на себѣ, катать въ телѣжкахъ по комнатамъ; время шло незамѣтно то въ ѣдѣ, то въ питьѣ. Но ей эта праздная жизнь стала надоѣдать: всѣ вставали поздно, ложились въ два-три часа ночи и Дарья Андреевна тоже должна была подчиняться этому порядку; кромѣ этого старуха Лукерья Васильевна часто заставляла ее садиться у ея ногъ, просила поправить платье, подвинуть ноги, посмотрѣть, нѣтъ ли на спинѣ чернаго таракана, котораго она до смерти боится, и просила разсказать, какъ умеръ ея отецъ, а потомъ сама разсказывала, какъ она маленькая была въ домѣ Андрея Иваныча, когда еще домъ послѣ пожара не былъ устроенъ, и какъ она воровала въ саду груши и яблоки, и какъ ее за это будочникъ хотѣлъ бить палкой.

Дарья Андреевна такъ понравилась старухѣ, что на третьи сутки она позвала сына и сказала:

— Ужъ ты, Елизарушка, не пускай Дашу: пусть она со мной водится. Она мнѣ больно какъ напоминаетъ мою Анюточку.

— Ладно, ладно, старуха. Не знаю, согласится ли? Ха-ха!

— Скажи, я приказываю.

— Ладно, ладно. Ха-ха!

— Даша, тебѣ придется у насъ поселиться. Старуха въ тебѣ... ха-ха... души не чаетъ: умру, говоритъ, безъ нея. Она, видишь ли, немножко рехнулась. А такъ какъ съ этимъ народомъ водиться трудно, то я тебѣ положу плату. Согласна?

— Помилуйте, Елизаръ Аникіевичъ, какая тутъ плата!

— Ну, я, ха-ха! не люблю, чтобы на меня даромъ дѣлали. Я вѣдь тебя знаю. По глазамъ вижу, что тебѣ отсюда удрать хочется.

Итакъ, Дарья Андреевна осталась у Платоновыхъ въ качествѣ сидѣлки. Когда она сшила платье, платье это всѣмъ понравилось, и ее завалили работой, но работать приходилось мало, потому-что старуха, когда не спала, ни одной минуты не давала ей покою, то ей ноги поправь, то спину почеши, то чепчикъ надѣнь другой, то читай изъ четьи-миней житіе Варвары-великомученицы, или про Іосифа прекраснаго сказаніе, или житіе Алексѣя человѣка Божія. И это повторялось каждый день.

— Позвольте, бабушка, я другое вамъ почитаю,—скажетъ Дарья Андреевна, когда ей надоѣстъ читать одно и то же.

— Нѣтъ, нѣтъ. Больше нѣтъ святыхъ, и больше я и знать ничего не хочу.

— Да какъ же, бабушка, нѣтъ больше святыхъ? Вотъ вы, напримѣръ, Лукерья.

— Лукерья—грѣшница; читай Алексѣя человѣка Божія.

Дарья Андреевна должна была постоянно находиться при старухѣ. Если ее катили въ комнаты, то Дарья Андреевна должна была идти съ ней и тамъ забавлять ее. Старуха уже стала забываться и кромѣ сына, жены его и Дарьи Андреевны никого не узнавала, и если сидѣла въ столовой, не дотрогиваясь до кушаній, то для того, какъ она говорила, чтобы въ ея домѣ былъ порядокъ, но въ разговоры она не вмѣшивалась, а только шевелила губами, точно такъ, какъ будто что-нибудь ѣла, и на шутки молодежи не обращала вниманія, потому-что плохо понимала нынѣшніе разговоры. А жалко было со стороны смотрѣть на эту старуху: сидитъ она въ большомъ мягкомъ на колесахъ креслѣ, съ вытянутыми ногами, съ сложенными у груди руками, въ одной изъ которыхъ она держитъ ситцевый платокъ, а въ другой берестяную табакерку, въ которой уже нѣсколько лѣтъ нѣтъ табаку и которая тоже нѣсколько лѣтъ уже не открывалась хозяйкой, а держится по привычкѣ. На ней надѣто черное бумажное платье, на шеѣ бѣлые воротнички; на головѣ бѣлый чепчикъ. Сама она толстая, но дряблая; она можетъ ходить, но немного; ей, отъ постояннаго сидѣнья и лежанья, не пройти и черезъ свою комнату. Лицо ея бѣлое, дряблое, волосы бѣло-желтые. Сидитъ она неподвижно, чавкая губами, но во рту у нея нѣтъ зубовъ. Жаль становится ее потому, что вокругъ нея всѣ кажутся счастливыми, веселыми; денегъ у нихъ много, забота у нихъ одна: какъ бы больше нажить денегъ, обмануть бы кого-нибудь. А ей, прожившей восемьдесятъ лѣтъ, надо бы утѣшаться, но у нея одна утѣха.

— А гдѣ моя табакерка?—спрашиваетъ она.

— Въ рукахъ, бабушка.

— Ахъ я безпамятная!.. Насыпьте табачку.

— Позвольте.

— Нѣтъ—перемѣнишь.

А говорятъ, эта же самая старуха, назадъ тому шестьдесятъ лѣтъ, торговала калачами; да и сынъ ея сперва былъ повытчикомъ, а потомъ простымъ барышникомъ на баркахъ и судахъ и мало-по-малу началъ разживаться поставкою лѣса.

Разъ, когда Дарья Андреевна ушла отъ Платоновыхъ домой для того, чтобы выкупить свой салопъ, старуха страшно разсердилась, и послѣ этого Дарью Андреевну уже никуда не выпускали отъ Платоновыхъ. Послѣ Крещенья старуха до того ослабѣла, что уже не хотѣла кататься по комнатамъ, а сидѣла въ своей спальнѣ и Дарью Андреевну не отпускала отъ себя ни на шагъ, такъ-что она въ ея комнатѣ и кушала; потомъ старуха не стала никого принимать къ себѣ, даже сына гнала прочь, а если приходилъ докторъ, то она, не подпуская его къ себѣ, грозилась убить, и докторъ только хитростью щупалъ у нея пульсъ. Наконецъ, старуха уже не могла вставать съ постели, отказывалась отъ пищи; а она до сихъ поръ ѣла только жидкое—кашицу, бульонъ, кисель и т. п. Потомъ у нея явились капризы, и она совсѣмъ измучила Дарью Андреевну, которой не давала покоя и ночью. Обыкновенно по ночамъ, кромѣ лампадки, горѣли двѣ свѣчки; постель Дарьи Андреевны стояла рядомъ съ постелью старухи,—такъ хотѣла старуха, объясняя это тѣмъ, что Даша неравно убѣжитъ.

Въ комнатѣ тихо. Старуха лежитъ на спинѣ, табакерка открыта и она что-то кладетъ въ нее, потомъ вынимаетъ. Дарью Андреевну сначала это забавляетъ, потомъ дѣлается скучно, жалко старухи.

— Даша!

— Я здѣсь, бабушка.

— Поди скажи, чтобы мнѣ сварили супъ изъ курицы, да сію секунду.

Подойдетъ Дарья Андреевна къ звонку, дернетъ; придетъ лакей, она передаетъ ему порученіе старухи.

— Скоро супъ?—спрашиваетъ снова старуха.

— Сію минуту,—отвѣчаетъ Дарья Андреевна.

— А кисель гороховой есть?

— Есть.

— Вели подать.

Опять та же исторія. Принесутъ супу.

— Не хочу. Я хочу съ вермишелью, съ клецками.

Словомъ, причудамъ старухи не было конца, и Дарья Андреевна до того измучилась, что уже стала желать старухѣ смерти. «Богъ съ ними и съ деньгами! Сколько ночей я не спала, хоть бы днемъ-то дала отдохнуть». И желаніе ея исполнилось. Передъ Пас-

хой старуха умерла тихо, безъ всякихъ наружныхъ мученій, на рукахъ Дарьи Андреевны. Дѣло было такъ: Дарья Андреевна немножко вздремнула, но дремота ея была такая, что она отъ шопота старухи открывала глаза и смотрѣла на нее.

— Даша!—произнесла шопотомъ старуха.

— Я здѣсь, бабушка.

— Подними-ка подушку, что-то колетъ.

Дарья Андреевна поправила подушку.

— Лягъ, да положь свою руку подъ мою голову, холодно мнѣ.

Дарью Андреевну начала пробирать дрожь. Старуха закрыла глаза; потомъ открыла.

— Есть табакъ?

— Есть.

— Дай понюхать.

Дарья Андреевна открыла табакерку, сдѣлала видъ, что взяла табаку, и поднесла къ носу старухи. У старухи глаза закрыты, ротъ открытъ; руки холоднѣе прежняго, сердце не бьется...

Дарью Андреевну затрясло. Она легонько вытащила изъ-подъ головы руку.

— Бабушка!?—произнесла она негромко.

Старуха не моргнула.

— Бабушка!—произнесла она громче.

Но тутъ слезы хлынули изъ глазъ Дарьи Андреевны, и она убѣжала изъ комнаты.

Но этимъ не кончилась еще служба Дарьи Андреевны: ее заставили обмыть и одѣть покойницу. Зато ей выдали по пятнадцати рублей въ мѣсяцъ и награды двадцать рублей.

XXXIV.

«Въ самомъ дѣлѣ, хорошо имѣть богатую родню», думала Дарья Андреевна, идя къ Морозовымъ. «Не будь этой родни и этой старушонки, что бы было со мной? Вотъ теперь у меня шестьдесятъ-пять рублей денегъ. Что я стану дѣлать съ ними? Вѣдь у меня никогда не было столько денегъ».

Морозовы очень обрадовались появленію Дарьи Андреевны.

— А мы думали, вы уже погибли безвозвратно въ омутѣ богатства.

— Нѣтъ, но вотъ я не знаю, что мнѣ дѣлать теперь?

— Теперь у васъ денегъ много. Рискните-ка отправиться въ Петербургъ, поступите въ повивальный институтъ.

— А какъ денегъ не хватитъ?

— Проситесь на казенный счетъ.

Однако Пасху она прожила у Морозовыхъ. Кузьма Андреевичъ часто заходилъ къ ней и все сбивалъ ее завести свой магазинъ.

— Нѣтъ, братчикъ, этихъ денегъ мало. А вотъ я съѣзжу домой на лѣто, поправлюсь, и тогда что-нибудь выдумаемъ.

— Такъ ты отдай мнѣ деньги на сбереженіе.

— Развѣ я сама не могу ихъ сберечь? Вѣдь мнѣ ужъ двадцать первый годъ.

На Ѳоминой недѣлѣ она простилась съ Платоновыми, братомъ Осипомъ и его женою, которая снова сошлась съ мужемъ, Кузьмой Андреевичемъ, Марьей Андреевной съ ея мужемъ, который въ это время не пьянствовалъ, и Морозовыми, и почти съ первымъ пароходомъ отправилась въ Ильинскъ. О своемъ намѣреніи ѣхать въ Петербургъ она не сказала никому, только одни Морозовы знали и только они одни горячо разстались съ ней. Когда же Кузьма Андреевичъ спросилъ ее: зачѣмъ она везетъ сундучекъ, она сказала: «Все можетъ случиться. Авось я и замужъ выйду».

Въ Ильинскѣ она застала хозяйство въ домѣ въ самомъ плачевномъ состояніи: со стѣнъ дома штукатурка отвалилась, верхній карнизъ упалъ, полкрыши снесло вѣтромъ, заплоты попадали, деревья поломаны, огородъ запущенъ; въ комнатахъ грязно; мачеха ходитъ какая-то сонливая, пахнетъ больницей. Зашла она въ больницу, тамъ грязь, вонь, никакого нѣтъ порядку; единственный сторожъ, приставленный къ тридцати больнымъ для того, чтобы подавать кушанья и справлять другія дѣла, былъ пьянъ. Противно ей сдѣлалось, а желаніе быть въ Петербургѣ точно толкало ее вонъ изъ дому и изъ этого города. Впрочемъ, и въ Ильинскѣ она нашла много новаго: такъ, здѣсь завелся телеграфъ, построено три каменныхъ дома; соборная церковь покрашена, въ каждой улицѣ непремѣнно два-три кабака, а, главное, отъ Ильинска къ Егорьевску строили желѣзную дорогу. Но жители отъ этого нисколько не сдѣлались богаче, потому-что припасы, водка и квартиры для рабочихъ были на откупахъ у егорьевскихъ купцовъ, приказчиками которыхъ въ этомъ участкѣ желѣзной дороги были ильинскіе купцы. Василій Миронычъ женился на мѣщанской дѣвушкѣ и имѣлъ уже сынишку; протопопъ Третьяковъ ослѣпъ, и съ нимъ возится его племянница Татьяна Ѳедоровна. Зиновьева не было: онъ сидѣлъ въ егорьевской тюрьмѣ; домъ былъ запечатанъ и жена его жила у священника Петропавловскаго, гдѣ гостила и подруга Дарьи Андреевны, Анисья Осиповна, къ которой и поѣхала Дарья Андреевна, простившись съ родными въ Ильинскѣ.

Въ этомъ селѣ, Никольскомъ, куда Петропавловскій былъ снова назначенъ, Дарья Андреевна прогостила три недѣли. Анисья Осиповна тоже собиралась въ Петербургъ—учиться повивальному ремеслу, но подвернулся судебный слѣдователь, и она полюбила его, такъ-что Дарья Андреевна должна была присутствовать на ихъ свадьбѣ.

Черезъ недѣлю послѣ свадьбы Анисьи Осиповны, Дарья Андреевна сѣла на пароходъ до Твери.

На этомъ, т.-е. на отъѣздѣ Дарьи Андреевны въ Петербургъ, авторъ заканчиваетъ романъ, такъ какъ онъ, т.-е. авторъ, въ этомъ романѣ имѣлъ въ виду жизнь провинціальную. Что же касается до жизни столичной, отличающейся отъ провинціи многимъ, то авторъ имѣетъ намѣреніе написать новый романъ, подъ другимъ названіемъ. Этотъ романъ будетъ продолженіемъ похожденій Дарьи Андреевны.

Мелкіе разсказы.

На палубѣ.

Прежде всего позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ о пароходѣ «Искра» г. Тета, плавающемъ два раза въ недѣлю отъ Перми до Усолья, находящагося въ 30 верстахъ отъ г. Соликамска, болѣе 200 верстъ. Въ прошломъ году «Искра» плавала до Чердыни, но нынѣ, до конца іюля, рейсовъ туда не дѣлала, потому-что Кама во многихъ мѣстахъ мелка, а пассажировъ мало. Объ удобствахъ на «Искрѣ» сказать нечего: это маленькій пароходъ, въ первомъ и второмъ классахъ помѣстится не больше 10 человѣкъ въ каждомъ, и, какъ водится, второй классъ хуже перваго. Если въ немъ садятся 6 человѣкъ, то 7-му пройти къ столу довольно трудно. 6-ти человѣкамъ въ немъ спать нужно сидя. 1-й классъ немного просторнѣе. На палубѣ, кромѣ капитана, лоцмана и рабочихъ, которые управляютъ пароходомъ среди людей, могутъ помѣститься много, много человѣкъ 30. Изъ Перми до Усолья берутъ: за первый классъ 5 руб., за второй 4 р. и за палубу 2 р. съ человѣка. Крестьяне, торгаши и чиновники, ѣздящіе въ Пермь по своимъ дѣлакъ, исключительные пассажиры парохода. Всѣ они предпочитаютъ палубу, потому, во-первыхъ, что плата дешевая, и, во-вторыхъ, удобство почти такое же, какое и въ классахъ, только развѣ дождемъ помочитъ, такъ для этого у нихъ есть зонтики; да и вообще русскіе люди къ дождю привычны: «не растаю, высохну», говоритъ пассажиръ, если его мочитъ дождь. Нѣкоторые ѣдутъ на палубѣ оттого, что «солнце грѣетъ, погода хорошая, весело».

На пароходѣ «Искра» я плылъ изъ Перми въ Усолье въ іюлѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года. Погода была хорошая, Кама впереди ни разу не зарябилась. Днемъ пекло солнце, а ночью холодило. Пароходъ плылъ 30 часовъ; шелъ онъ скоро, два раза ночью останавливался на мели. На палубѣ было 20 человѣкъ пассажировъ. Въ первомъ классѣ былъ одинъ В. Такъ какъ г. В. въ губернскомъ городѣ имѣетъ большое вліяніе, то изъ прочихъ пассажировъ, ниже его по чину и общественному положенію, никто не шелъ въ первый классъ. Во второмъ классѣ было 5 человѣкъ мужчинъ и 4 дамы, сѣвшіе со 2-й и 3-й пристани отъ Перми. Такъ какъ 9-ти человѣкамъ во-второмъ классѣ сидѣть невозможно, то всѣ мужчины бились на палубѣ, а женщины въ каютѣ. На палубѣ есть 4 скамейки, на которыхъ можно сидѣть 3 человѣкамъ. 15 человѣкъ сидѣли, остальные стояли, да и тѣхъ просили сторониться рабочіе, проходящіе отъ носа къ кормѣ и обратно.

На палубѣ скоро знакомятся всѣ отъ словъ: куда и зачѣмъ? Говорятъ о разныхъ дѣлахъ, большею частію о безпорядкахъ въ Польшѣ, будетъ или нѣтъ война. Разговоръ съ перваго знакомства продолжается не болѣе часа, потомъ настаетъ молчаніе, всѣ скучаютъ и не знаютъ, о чемъ говорить.

Кама здѣсь у́же чѣмъ въ Перми, мелка. Берега въ нѣкоторыхъ мѣстахъ гористы, лѣсисты; большею частію лѣса, кое-гдѣ луга; на лугахъ скошена трава или созрѣваетъ хлѣбъ. На Камѣ жизни мало: кое-гдѣ человѣкъ 7—9 бурлаковъ тащатъ судно съ хлѣбомъ кверху; попадется два, три плота; около деревень три, четыре рыболова въ лодкахъ удятъ отъ заѣздковъ, и двѣ три лодки переплываютъ, невдалекѣ отъ деревень, черезъ Каму—и только.

На пароходѣ есть буфетъ или кухня, въ которой двумъ человѣкамъ тѣсно. Поваръ, буфетчикъ и слуга—женщина. Она готовитъ порядочно. Кофе, дорогихъ винъ и хорошихъ булокъ въ буфетѣ нѣтъ. Папиросы дрянныя 3-го сорта.

Если вы въ Перми не запаслись булками, то на пристаняхъ, кромѣ ягодъ, ничего не найдете.

Капитанъ, отставной мичманъ, 50-ти слишкомъ лѣтъ, здоровый, похожій на купца, бойкій, шутникъ и веселый человѣкъ. Онъ съ кѣмъ угодно поговоритъ и развеселитъ хоть кого. Вообще на пароходѣ и на Камѣ жизни мало видно: кругомъ лѣса и лѣса, поля не обрабатываются. Отчего, спрашиваете вы, здѣсь мало луговъ? «Народъ бѣдный, занятый другими работами, а зе́мли большею частію помѣщичьи», отвѣчаютъ вамъ. Надо замѣтить, что помѣщики дорого берутъ съ крестьянъ за землю, а между тѣмъ Соликамскій и Чердынскій уѣзды самые бѣдные въ Пермской губерніи.

Не то видите вы отъ Перми до Нижняго. Въ концѣ іюля я плылъ до Нижняго на пароходѣ общества Кавказъ и Меркурій. Пароходъ большой.

На кормѣ сдѣлана сѣтка для того, чтобы не падали на палубу искры. На кормѣ и носу было до 60 человѣкъ, большею частію пермскихъ 3-й гильдіи купцовъ, мѣщанъ-приказчиковъ, торгашей и крестьянъ. Люди эти запасаются билетами съ вечера и приходятъ на пароходъ въ восемь часовъ утра, съ зонтиками, нѣкоторые кожами, рогожами, водкой, которую хотя и запрещено возить пассажирамъ, но ее беретъ съ собой всякій пассажиръ на палубѣ оттого, что въ буфетѣ рюмка стоитъ 10 коп., а что такое одна рюмка для купца и мѣщанина въ сравненіи съ четвертью, взятою имъ съ собою? За десять копеекъ онъ удавится *). Всякій пассажиръ несетъ съ собою булки, пироги и другія сласти, приготовленныя дома, и наконецъ одѣяло, подушки, тулупъ и еще кое-какіе узелки и ящички, которые общимъ вѣсомъ потянутъ болѣе пуда. Хотя, по правиламъ пароходнымъ, дозволено возить съ собою не болѣе пуда, однако рѣдкій пассажиръ не провозитъ около себя болѣе полутора пуда. Приходятъ рано они потому, чтобы *застать мѣста* по серединѣ палубы на кормѣ, подъ сѣткой. Узелки кладутъ подъ скамейку, ящички въ голову. Одѣяла стелятъ по скамейкѣ, кладутъ тулупы и подушки. Уладивши свою *квартиру*, они прилаживаются—«ловко» ли лежать, и, убѣдившись, что ловко, лежатъ до новыхъ пассажировъ. Другіе пассажиры занимаютъ незанятыя мѣста и опять устраиваютъ квартиры. Третьимъ приходится только сѣсть, а четвертымъ уже стоять, и такимъ пассажирамъ развѣ изъ сожалѣнія дадутъ присѣсть, а ночью опять прогонятъ. Приди какой-нибудь пассажиръ и садись рядомъ къ пассажиру, этотъ непремѣнно скажетъ: «здѣсь занято-съ» или: «куда ты лѣзешь? Не видишь развѣ, что люди сидятъ?»

— Да вѣдь и мнѣ будетъ мѣста.

— Мало ли что будетъ! Сказано занято.

— А я гдѣ сяду?—разсуждаетъ про себя новый пассажиръ.

— А гдѣ хошь. Самъ разваливается: мнѣ, дескать, хорошо, и знать ничего не хочу, а ты постоишь, не великъ баринъ. Больше всѣхъ досталось бѣднымъ солдатамъ, отправлявшимся до Нижняго. Нѣкоторые изъ нихъ шли съ Амура и изъ Иркутска, нѣкоторые изъ Пермской губерніи или на службу, или домой, въ отставку. Капитанъ парохода послалъ ихъ на корму. Скамейки были заняты, и имъ пришлось или сидѣть на самой кормѣ, на курятникахъ, или на полу подъ открытымъ небомъ, или стоять. Ихъ было 30 человѣкъ. Не смотря на объявленія общества, что пароходы отправляются изъ Перми въ 10 часовъ утра, пароходъ отправился въ $12^1/_2$ часовъ, и до этого времени на палубѣ было много провожающихъ, была тѣснота, и было весело. Когда пароходъ пошелъ, палубные пассажиры перекрестились, а солдаты проговорили: «поперъ бурко! Вези, хлѣбушка дровянаго подбавятъ!»

*) Водка хранится или въ сакъ-вояжахъ, или въ ящикахъ, въ бутылкахъ, графинахъ и штофахъ.

Съ самаго начала плаванія всѣ пассажиры, въ томъ числѣ и изъ классовъ, смотрятъ на удаляющійся городъ, кажущійся издали селомъ. Берега около Перми бѣдны, судоходства незамѣтно, только развѣ черезъ часъ покажется судно или плотъ. На поляхъ кое-гдѣ скошена трава. Лѣса мало. Потомъ палубные пассажиры, конечно, знакомые, начинаютъ говорить между собой о своихъ дѣлахъ. Солдаты ругаютъ Пермь: «ну, ужъ и городокъ! и живутъ-то въ немъ ровно не люди». Пермь они за то не любятъ, что тамъ имъ показалось, что народъ какой-то грубый, гордый, съ казной живетъ, какъ ему хочется; въ ней они не видѣли никакой промышленности и никакого движенія. Правду ли говорятъ солдаты, я завѣрять не стану. Нужно пожить въ Перми и съ ея обществомъ, чтобы узнать этотъ городъ, а писать не стоитъ, потому что о ней много было писано, да толку мало. Всѣ довольны тамъ своею жизнію, а что скучно—говорятъ рѣдкіе, заѣзжіе люди. Пассажиры изъ классовъ ходятъ или сидятъ на палубѣ, но съ пассажирами палубными никто изъ нихъ не перемолвился словомъ. Незнакомые ни съ кѣмъ пассажиры сидятъ молча, угрюмо смотрятъ или въ воду, или на берега, или на народъ на пароходѣ. Наскучитъ это, они прохаживаются по палубѣ; ихъ оглядываютъ съ презрѣніемъ пассажиры изъ классовъ. Опять смотрятъ на берега или въ воду: не веселятъ ихъ берега, не интересуютъ бѣлыя волны отъ колесъ и парохода, мутная вода, милліоны искръ отъ трубы и шумъ отъ колесъ... Сидятъ они бѣдные, облокотившись на узелокъ свой, думаютъ что-то, дремлютъ. Надоѣстъ и это, уснулъ бы, да спать не хочется, встаютъ, посмотрятъ: нельзя ли съ кѣмъ-нибудь поговорить, подойдутъ къ кому-нибудь изъ крестьянъ или мѣщанъ: «вы куда ѣдете?» тотъ тоже дремлетъ; скажетъ: «А ты куда?» потомъ: «откуда, зачѣмъ?» и тѣмъ кончается разговоръ... Скука! А пароходъ катитъ, шумитъ рѣка, поднимаются и бѣлѣются волны... Нѣкоторые купцы закусивъ уже спятъ.

Не то у солдатъ. У нихъ не умолкаютъ разговоры. Они всѣ перезнакомились, смѣются, передразниваютъ кого-нибудь изъ своего брата, подсмѣиваются надъ пассажирами.

— Ты женатый?—спрашиваетъ солдатъ своего товарища.

— Женатъ. Мѣсяца съ женой не жилъ, и погулять не успѣлъ: взяли въ городъ и забрили.

— Ты еще ладно, хоть зналъ, что забрѣютъ. Я женился, двѣ недѣли все водку пилъ. Вдругъ утромъ приходитъ десятникъ и говоритъ: одѣвайся. —Зачѣмъ?—Нужно, говоритъ. Поѣхали въ городъ. Освидѣтельствовали: годенъ, говорятъ. И забрили.

— А ты помѣщичій былъ?

— То-то и есть.

— Ну, я, братъ, не гулялъ. Два года съ женой жилъ, водку пилъ только по праздникамъ. Наканунѣ отправки что есть изъ лѣса пріѣхалъ, еще дровъ возъ привезъ, говоритъ третій солдатъ.

— Ну, теперь, поди, обрадуется жена.

— А кто ее знаетъ. Сколько прошло годовъ...

— А она поди ребятъ сколько имѣетъ?

— Такъ что.

— Я, братцы мои, какъ прійду домой, скажу женѣ: давай деньги, что накопила. Пропью деньги, уйду куда-нибудь...

— Ты глупъ, братецъ мой! Ну, какъ это можно? Виновата развѣ жена, что нѣтъ мужа... Ты съ себя примѣръ бери... У тебя сколько любовницъ было?

— Да гдѣ ихъ считать. А я пропью и прибью ее и уйду.

— Толкуй съ дуракомъ! Ты пойми, какъ же ей жить одной безъ мужчины? Ну она и жила съ кѣмъ-нибудь, копила деньги, а тебя приметъ, мое почтеніе.

— Такъ оно. Солдаты урезонивали, что бить жену не слѣдуетъ, а надо стараться объ хозяйствѣ, объ дѣтяхъ, и тотъ согласился.

Поляковъ ругаютъ всѣ, и отставные, когда будетъ война, хотятъ снова идти въ военную службу. «Теперь хорошо сдѣлалъ Императоръ, службу сократилъ, чувствовать надо; теперь пусть война будетъ, мы пойдемъ и слова не скажемъ», говорятъ они. Купцовъ и мѣщанъ пассажировъ солдаты ненавидятъ. «Мужикъ такъ мужикъ и есть, и обращеніе мужицкое. Солдатъ обращеніе знаетъ, Царю служитъ, на все годенъ, нужды нѣтъ, что въ этакой волшебницѣ». Волшебницею они называли свою старую сѣрую шинель.

Не успѣли купцы и мѣщане соснуть, а солдаты дохлебать порцію «селяночки», какъ они называютъ, въ насмѣшку другимъ пассажирамъ, налитую въ большую деревянную чашку воду, съ накрошеннымъ хлѣбомъ и посоленную солью, какъ поднялся сильный вѣтеръ, волны поднимались горами, бѣлѣлись такъ, что и солдаты удивлялись, прихлебывая селянки: «экая волна-то матушка! вонъ какъ ударилась... Ай-да и Камушка, разыгралась! Небо вдали чернѣло.—Пройдетъ можетъ, говорили на палубѣ, боясь дождя. Сталъ накрапывать дождь, гремѣлъ громъ, небо почернѣло надъ нами. Свистъ вѣтра по сѣткѣ заглушалъ шумъ отъ парохода и говоръ людей. На палубѣ всѣ забѣгали, засуетились. Кто улаживалъ и прикрывалъ вещи, прикрывалъ себя кожами или рогожами; кто направлялъ зонты; зонты рвало; ихъ держали по-двое; солдаты прятали свои мѣшки подъ скамейки, лѣзли сами подъ скамейки, прикрывались рогожами или со смѣхомъ ждали дождя, говоря: «ничего, не размокнемъ! Волшебницу помочитъ маленько; высохнетъ, не впервые!» Полилъ дождь, гремѣлъ громъ, свистѣлъ вѣтеръ. На палубѣ все смолкло, только изрѣдка смѣялись солдаты, толкая подъ скамейками другъ друга. Сквозь сѣтку дождь безжалостно лилъ на палубу, мочилъ тѣхъ, кто былъ не защищенъ отъ него; солдаты лежали какъ будто въ лужѣ подъ скамейками.

— Хлещи, хлещи, родименькой, не размокнемъ! Именно поддай! вотъ любо! говорили солдаты. Смокшіе отъ дождя говорили: «Этакіе черти! Ну, что бы, вмѣсто сѣтки, крышу сдѣлать?»

Во время дождя произошла сцена на палубѣ. Солдатъ, немного выпившій, забился подъ скамейку. На скамейкѣ лежалъ какой-то приказчикъ-мѣщанинъ, прикрывшійся кожей. Возлѣ него сидѣлъ тоже мѣщанинъ съ зонтикомъ. Съ зонтика лились на полъ ручьи прямо на шинель солдата. Солдатъ сталъ подбирать шинель, ему налило въ рукавъ. Онъ высунулъ голову.

— Вы, сударь, поверните зонтикъ!

— А что?—Ручьи полились на лицо солдата.

— Какъ что? Вы зачѣмъ на меня зонтикъ держите?

Державшій зонтикъ не унимался, а повертывалъ его такъ, чтобы лило съ него на солдата. Лежавшій на скамейкѣ приказчикъ сталъ подбирать изъ-подъ нея узелки, на которые солдатъ упирался головой.

— Да дайте мнѣ полежать! Что я развѣ украду ихъ у васъ? Всякой дряни накладете, а другимъ и мѣста нѣтъ.

Приказчикъ сталъ гнать изъ-подъ скамейки солдата. Солдатъ вскочилъ.

— Да, что ты въ самомъ-то дѣлѣ, откупилъ что ли и подъ скамейкой мѣсто. Всякая сволочь и та зазнается! Ишь какой баринъ выискался: онъ на лавкѣ развалился, а солдату и подъ лавкой мѣста нѣтъ. Да что ты, ваше благородіе что ли? Сволочь этакая!

— Да что ты лаешься?

— А ты что гонишь меня... Я-съ-то, не я-съ-то; стою рублевъ полтораста! Въ воду мнѣ идти не прикажете ли?

— Ну и убирайся хоть въ воду.

— На-ка вотъ тебѣ! Солдатъ показалъ ему кулакъ. Ишь распорядитель какой! Купчишко или мужикъ какой-нибудь, а тоже и зазнается. Почну какъ швырять въ воду узелки-то, такъ узнаешь. Насилу уняли солдата товарищи.

Дождь шелъ не долго. Пассажиры, со смоченными насквозь одеждами, едва, едва высушили ихъ около паровика и трубы или ихъ продуло вѣтромъ и согрѣло солнцемъ, появившимся къ вечеру.

На пароходѣ, говорятъ, крыши дѣлать неудобно, потому-что вѣтеръ мѣшаетъ ходу парохода, «паруситъ», однако на нѣкоторыхъ пароходахъ есть крыши, и они ходятъ скоро.

На кормѣ подъ сѣткой хорошо быть на серединѣ, а по краямъ нужно опасаться за свою одежду. Хотя днемъ искръ и не видать, но на кормѣ воняетъ сженымъ ежеминутно.—Горитъ кто-то? кричатъ гдѣ-нибудь.—Кто горитъ? Оглядываютъ свою одежду: маленькій уголекъ вертитъ или пальто, или шинель, и на нихъ образовалась уже не одна дыра. Ночью видно, какъ изъ трубы вылетаютъ милліоны маленькихъ продолговатыхъ искръ; они, эти маленькіе угольки, развѣваемые вѣтромъ, сыплются въ воду, на сѣтку и падаютъ съ боковъ на палубу. Упадетъ уголь на рогожу—горитъ рогожа; палъ на одежду—горитъ одежда.

Первую ночь, запасшіеся мѣстами пассажиры спали спокойно, завернувшись въ шубы, потому-что ночь была холодная. Они спали, удобно развалившись по скамейкѣ, прикрывшись кожей или рого-

жей. Не имѣвшіе мѣстъ для лежанія, послѣ долгой дремоты, спали полулежа; солдаты лежали подъ скамейками, на полу или спали сидя. Пройти ночью по палубѣ не было никакой возможности. Съ 1-го часа ночи дѣятельность на пароходѣ смолкаетъ: слуги не бѣгаютъ, кругомъ молчаніе, всѣ спятъ. Развѣ кричитъ только матросъ: «семь! восемь!» Иногда останавливается на минуту пароходъ на мели, настаетъ тишина, и послѣ слова: «десять» слышны опять только шумъ колесъ и трубы...

Часу въ 6-мъ утра мы были разбужены крикомъ: «горимъ! Ей баба горишь!» У лежавшей на скамейкѣ, у перилъ парохода женщины горѣло платье, одѣяло и лѣтній простенькій салопъ. Принесли ведро воды и насилу затушили. У женщины, на видномъ мѣстѣ, прогорѣли въ двухъ или трехъ мѣстахъ салопъ и платье. Несмотря на рогожи, у всѣхъ пассажировъ, лежавшихъ у перилъ, прогорѣла во многихъ мѣстахъ одежда.

О каждомъ городѣ и селеніи, мимо которыхъ мы плыли, и у которыхъ останавливался пароходъ для пассажировъ или для нагрузки дровъ, говорить не стоитъ, потому-что предметъ, о которомъ я говорю, до нихъ не относится, да и города эти и села извѣстны. Замѣчу только, что они гораздо лучше пермскихъ, и въ нихъ больше видно промышленности. На каждой пристани рынки: торгуютъ или продаютъ пассажирамъ хлѣбъ, огурцы, сливки, жареныхъ поросятъ, утокъ, говядину, арбузы и преимущественно ягоды: малину, смородину и вишни. Днемъ пассажиры выходятъ на берегъ, палубные берутъ всего, пьютъ въ лавочкахъ водку, а изъ классовъ берутъ ягоды и сливки. Кама, со впаденіемъ въ нее Вятки, болѣе оживлена.

Нельзя не подивиться обжорству палубныхъ пассажировъ. Лишь только они пробуждаются, за исключеніемъ солдатъ, всѣ умываются, молятся на берегъ, выпивъ водки изъ бутылки или штофа, начинаютъ пить чай съ своими булками. Купцы, мѣщане и крестьяне пьютъ 6 и 8 стакановъ или чашекъ чая поодиночкѣ или втроемъ. Послѣ чаю ѣдятъ съ булкой же ягоды и закусываютъ арбузомъ. Солдаты, сказавъ: «съѣсть развѣ селяночки», съѣдаютъ каждый двѣ порціи селянки, три ломтя хлѣба, три или четыре огурца и яицъ съ чашкой воды. Послѣ этого съѣдаютъ по четыре ломтя арбуза, если у кого есть арбузъ и ягоды. Купивъ что-нибудь на пристани, опять ѣдятъ, все большею частію ягоды, или пробуютъ новыя закупки. Въ 12 часовъ всеобщая ѣда на палубѣ. Въ 5 часовъ, за исключеніемъ солдатъ, которые съѣдаютъ то же, что и утромъ, чай съ прикуской, послѣ него, опять ягоды и арбузы. Въ 9 часовъ ужинъ—всеобщая ѣда на палубѣ. Надо замѣтить, что обѣдъ и ужинъ у купцовъ, мѣщанъ и крестьянъ состоитъ изъ пирога съ рыбой, печенаго дома, поросенка или говядины съ тремя огурцами на каждаго, трехъ яицъ, ягодъ и двухъ ломтей арбуза. Солдаты съѣдаютъ по одной порціи селянки. Сверхъ того, надо считать пробу закупокъ съ пристаней и на каждаго 4 стакана водки, кромѣ солдатъ, разумѣется. Изъ буфета берутъ 1 изъ 20-ти человѣкъ, и то разъ въ день, супъ. Послѣ ѣды, большею частію, спятъ.

На третій день всѣ пассажиры мало-по-малу познакомились на кормѣ, т. е. узнали кто, куда и зачѣмъ ѣдетъ. Нѣкоторые приглашаютъ другъ дружку напиться чаю. Приглашенный пьетъ чай со своимъ сахаромъ вприкуску. Послѣ всѣхъ этихъ знакомствъ, натянутыхъ разговоровъ кое о чемъ, пассажиры начинаютъ скучать. У кого есть книга, тотъ беретъ ее читать,—не читается; отдаетъ ее кому-нибудь изъ новыхъ знакомыхъ, тотъ посмотритъ въ нее, перевернетъ на разные манеры, переберетъ листы, почитаетъ немного и отдаетъ назадъ. «Книга ничего, да гдѣ всю прочитаешь. А безъ конца чего читать! — «Такъ оно». Пойдутъ прогуляться по палубѣ, постоятъ гдѣ-нибудь, пойдутъ на свои мѣста, ложатся, дремлютъ или засыпаютъ.

Надобно сказать вамъ, что на палубѣ два однообразныхъ мірка—корма и палуба; разница между ними только та, что на носу нѣтъ сѣтки, искры тамъ не жгутъ, зато дуетъ постоянно вѣтеръ и холоднѣе, чѣмъ на кормѣ. Зато около этихъ пассажировъ постоянно сидитъ аристократія изъ 1-го и 2-го класса. На носу такія же квартиры, полулежачее сидѣніе, сонъ ночью на полу подъ кожами и рогожами, чай и ѣда въ одно время съ кормовыми. Пассажиры на носу не знаютъ пассажировъ на кормѣ и наоборотъ; и изъ обѣихъ половинъ пассажиры не ходятъ ни къ кормовымъ ни къ носовымъ. Какъ у кормовыхъ, такъ и у носовыхъ есть свои знакомые, своя скука еще хуже, потому что на нихъ постоянно смотрятъ аристократы. Кормовые смѣются надъ носовыми: «Ладно ихъ тамъ продуваетъ—на самомъ на челу сидятъ». Съ своей стороны и носовые смѣются кормовымъ: «Ладно ихъ тамъ жжетъ искрами!»

Аристократія, прогуливаясь по палубѣ между кормой и носомъ, съ презрѣніемъ оглядываетъ этихъ пассажировъ. Ей, конечно, ничего, она богата, а эти люди не то, у каждаго свои разсчеты. Бѣдному 9 рублей дороги, а купецъ за 22 рубля во 2-мъ классѣ не поѣдетъ. «Все равно доѣдемъ до Нижняго хоть на палубѣ, хоть въ классѣ. Не бѣда прожечь одежду, на то и одежда такая, а тамъ ни за что заплатить лишнихъ 13 руб., и удовольствія никакого нѣтъ, народъ не по намъ. А 13 рублей въ Нижнемъ пригодятся».

На палубѣ, я вамъ скажу, большею частію народъ грубый, необразованный. Есть и образованные пассажиры, но очень мало. Задомъ ко мнѣ занималъ мѣсто какой-то торгашъ. Ляжетъ онъ спать, никто не смѣй его задѣть – разругаетъ. Въ 4 дня онъ больше спалъ и ѣлъ, говорилъ мало. Разъ онъ обѣдалъ, я курилъ сигару.

— Ты цигарку-то не кури,—сказалъ онъ мнѣ.

— А что?

— То-то что? Смотри, я обѣдаю. Много мѣста—можешь и дальше курить.

Я ушелъ.

Въ другой разъ, во время обѣда, кто-то попросилъ у него ножа.

— У тебя глаза-то чѣмъ заволокло?

Просившій опѣшалъ.

— Ты вишь, я обѣдаю?—прибавилъ онъ.

— Да я вѣдь не съѣмъ у тебя ножъ.

— Погоди, наѣмся, отдамъ.

— Ты теперь дай.

— Да что ты, шельмецъ, присталъ въ самомъ-то дѣлѣ? Сказано, обѣдаю! Слѣпня, дакъ слѣпня и есть. И спряталъ ножъ.

Долго палубные пассажиры ждали Волги. «А скоро, братанъ, Волга?—спрашивалъ кто-нибудь кого другого. — Верстъ сто. — А ровно отъ этой деревни верстъ 20.—Нѣтъ, сто.—Это ровно Волга?—спрашивалъ кто-нибудь.—Нѣтъ еще.— Да, кажись, Волга. — А ты бывалъ на Волгѣ?— Быть не бывалъ, а слыхалъ!»

При впаденіи Камы въ Волгу всѣ пассажиры встали и смотрѣли на широкій разливъ и по обѣимъ сторонамъ Волги.

При вступленіи парохода въ Волгу всѣ перекрестились: «Вотъ она, Волга-матушка!»

Какой-то торгашъ бросилъ въ Волгу мѣдный пятакъ, перекрестился и поглядѣлъ въ то мѣсто, куда бросилъ.

— Это зачѣмъ?—спросилъ стоявшій около него купецъ.

— Ты, теперича, чего другого не дѣлай, а это сдѣлай. Какъ подаришь, теперича, Волгу—и проплывешь хорошо, и на ярманкѣ, теперича, ладно будетъ. Ужъ не впервые дарю. Какъ, теперича, и не подаришь Волгу матушку? Она, теперича, выходитъ мать рѣкамъ. Кама супротивъ ея, теперича, мизинца не стоитъ.

— Неправда.

— А неправда, дакъ и говорить не стоитъ.

Къ концу плаванія пассажиры были веселѣе, сообщительнѣе, давали солдатамъ сдобныхъ булокъ, ягодъ, арбузовъ, просили ихъ пѣть пѣсни. Всѣ говорили о прошлогодней ярмаркѣ, какъ вотъ будетъ нынѣшняя, гдѣ остановиться, и проч.

— Ты, Павелъ Кондратьичъ, не знаешь, какая у меня здѣсь механика устроена?—спросилъ одинъ купецъ другого, показывая на боковой карманъ сюртука.

— А что?

— Засунь-ка руку?

Тотъ не рѣшался.

— Право засунь.—Купецъ захохоталъ.—Тутъ, братъ, секретецъ. Былъ я въ прошломъ году въ Нижнемъ. Купилъ матеріи шелковой и поѣхалъ въ гостиницу. Ну, разумѣется, деньги за-все щупалъ. Въ сюртукѣ было всего 50 рублевъ да въ брюкахъ тысячи полторы. Ѣду по ярмаркѣ, да попались на глаза яблоки, огромные, преогромные. Слѣзъ, взялъ яблокъ, пробую и велю отвѣсить пудъ. Всего, какъ я слѣзъ, прошло минутъ 5. Хвать въ сюртукъ, нѣтъ бумажника; посмотрѣлъ на жилетку — цѣпочка виситъ, а часовъ нѣтъ... Вотъ такъ штука. Кричу: бумажникъ украли, а кто и поминай, какъ звали. Вотъ я и пришилъ во всѣ карманы удочки: какъ онъ, мошенникъ-то засунетъ руку, тутъ я его и цапъ-царапъ.

— А насчетъ клубнички не прохаживались?

— Ну же! тутъ не такъ ошарятъ.

— А здѣсь, братъ, есть еще три.

— Гдѣ?

— А во 2-мъ классѣ. Да тамъ не намъ чета. Хорошія такія, да вонъ онѣ прохаживаются; вишь какъ ухаживаютъ двое... Въ Нижній ѣдутъ.

— А нынче ихъ много расплодилось. Вотъ хоть бы въ Перми, прежде слыхомъ не слыхать и видомъ не видать, а теперь ужасть. Ладно ихъ нынѣ полиціймейстеръ пробираетъ: чуть какая-нибудь забезчинствуетъ, и гонятъ ее къ гостиному двору съ метелкой—мететъ улицу... Срамота!

— И по дѣламъ... Не безчинствуй.

— Оно такъ, да для женщинъ-то срамъ, униженіе выходитъ... А какъ подумаешь хорошенько, все нами ведется... Мы начинаемъ первые, а имъ ѣсть нечего...

Въ 9 часовъ утра показался Нижній и тысячи барокъ и судовъ и сотня пароходовъ на Волгѣ и Окѣ. Палубные пассажиры перекрестились. Началась суетня. Вмигъ квартиры были разрушены: кто складывалъ и увязывалъ свои вещи, кто вытаскивалъ изъ-подъ скамеекъ сакъ-вояжи, коробочки, ящички, недоѣденные арбузы, кто давалъ солдатамъ булки, арбузы, ягоды, говядину, и, уложивши вещи, всѣ смотрѣли на городъ, баржи и пароходы. Черезъ часъ палуба опустѣла, остались только объѣдки арбузовъ, замаранная ягодами бумага, да кое-гдѣ кусочекъ сдобной булки или ржаного хлѣба.

Складчина.

I.

Въ нашемъ губернскомъ городѣ, въ Солдатской Слободкѣ *), есть старенькій домишко: худенькій такой, на улицѣ съ обоихъ боковъ до того покачнулся, что третье, среднее окно кажется выше крайнихъ оконъ; крыша высокая, на ней двѣ трубы развалились до половины; или отъ вѣтра, или ужъ отъ времени кирпичи повыпали—Богъ знаетъ. Люди говорятъ, и дому тому ужъ много лѣтъ — чуть не съ Пугача построенъ. Я вамъ скажу, въ нашемъ городѣ Пугача никто не видалъ, а только сказываютъ старые люди: «недалеко былъ, да отъ насъ Царица небесная отнесла». Ну, и говорятъ: «тотъ и этотъ, такой-то домъ до Пугача еще построенъ, а не сгорѣлъ въ пожары, такъ видно хозяинъ на праведныя деньги строилъ—Богъ и помиловалъ». Не любятъ эти старые люди, если имъ скажутъ: «ты съ Пугачевыхъ годовъ живешь»... Во дворѣ какіе-то погреба да сарайчики маленькіе, телѣги да дрова, кадки да кадушки, вѣники развѣшаны, хламъ какой-то и не разберешь, что и къ чему слѣдуетъ; корова лежитъ, двѣ большія свиньи въ сору роют-

*) Названіе части города.

ся, поросята бѣгаютъ, курицы роются тоже въ сору, двѣ кошки дерутся, скачутъ на полъ-аршина отъ земли, собака лаетъ на кошекъ, да языкъ выставляетъ: и скучно видно ей-то, и лаетъ, и жарко-то ей, и мухи-то кусаютъ... Во дворъ изъ дома выходитъ пять оконъ, три къ воротамъ съ калиткой, а два за крыльцомъ. Изъ трехъ оконъ два отворены, а въ третьемъ зимняя рама не выставлена. Отчего же это рама не выставлена, коли «жара» такая стоитъ? Да особая причина на то, сказываютъ, есть. Крыльцо худое прехудое съ четырьмя ступеньками, изъ коихъ двѣ среднія совсѣмъ выпали. За крыльцомъ два окна ставнями закрыты. Вѣрно жильцовъ нѣтъ? Есть, сказываютъ, да «помираетъ».

Въ этомъ домѣ живетъ отставной солдатъ-сапожникъ съ женой, которой домъ благословленъ по духовному завѣщанію бабушкой, когда она еще года полтора назадъ, при смерти лежала, да выздоровѣла, и теперь по-грибы лѣтомъ ходитъ, а зимой на печкѣ въ кухнѣ лежитъ. У солдатъ есть двое дѣтей, 4-хъ и 5-ти лѣтъ, шалуны такіе, что бабушка часто на нихъ кричитъ, когда они у нея изъ чулка иголки вытаскиваютъ: «погоди, Пугача пошлю, онъ вамъ!» Она, сказываютъ, до Пугача еще родилась, и не любила солдата, когда онъ дразнилъ ее Пугачемъ. Живутъ они и теперь въ комнаткѣ съ двумя окнами на улицу къ воротамъ, а рядомъ, въ комнаткѣ съ однимъ окномъ на улицу, жилъ за рубль отставной канцеляристъ; пьяница непросыпный былъ, Богъ съ нимъ. Все терся въ питейныхъ домахъ да гдѣ-нибудь, а домой приходилъ ночью. Ходилъ постоянно съ синевицами на лицѣ, а кормился тѣмъ, что сочинялъ кому-нибудь просьбы, плачевныя письма или на похороны кому-нибудь сбиралъ, а главное на похороны любилъ ходить къ служащимъ. Заберется въ домъ, возьметъ подсвѣчникъ, тащитъ его до церкви и до могилы, будь хоть стужа страшная, вѣтеръ и вьюга зимой — ничего, нужды нѣтъ, что у него и сапоги съ дырами, и пальтишко на ватѣ съ дырами всего одно, и шапка съ прорванной верхушкой и старымъ полинялымъ зеленымъ околышемъ одна; будь хоть дождь и грязь лѣтомъ — все ничего. Видитъ, бывало, подсвѣчники уже взяли, онъ и балдахинъ съ солдатами или съ кѣмъ-нибудь понесетъ. Бывало и такъ забирался на поминки. Когда спросятъ его: ты зачѣмъ пришелъ? онъ и скажетъ: «съ покойникомъ пріятелемъ былъ». Если умретъ какой-нибудь знакомый, онъ и напишетъ листъ и пойдетъ собирать, что-де такой-то умеръ, похоронить не на что, посочувствуйте, христіане; писалъ, что-де жена и дѣти остались, хотя у того ни жены ни дѣтей не было. Это ему рѣдко сходило, часто сиживалъ въ полиціи. Въ комнаткѣ съ зимней рамой и теперь живетъ вдова-чиновница, «коллежская секретарша», какъ ее называли сосѣди, пенсіей живетъ въ 4 р. с. въ мѣсяцъ. Скупая, говорятъ: «нищему куска не уволитъ дать»; на сундукѣ и спитъ всегда, когда дома, а когда уходитъ, разъ десять отпираетъ да запираетъ сундукъ. «А ѣстъ-то, ѣстъ, Боже ты мой! Въ молостные дни одну рыбу, что дешевле, а въ постные — сухари да рѣдьку или капусту». Зато, когда она читаетъ по покойникамъ, такъ все ѣстъ, что ни подадутъ,— извѣстно, на похоронахъ много ѣдятъ, — и водку «попиваетъ: за упокой, значитъ». Она ужъ очень курицъ да кошку любитъ; 5 курицъ съ пѣтухомъ держитъ и яйца продаетъ. Когда уходитъ изъ квартиры, всегда запираетъ ихъ на замокъ въ комнаткѣ: у нея тамъ курятникъ сдѣланъ; разъ пять пересчитаетъ, всѣ ли курицы. Однажды, на прежней квартирѣ, у нея курица потерялась; пропала ли, укралъ ли кто, только она подумала на хозяина: «онъ, разбойникъ, съѣлъ!» А какъ разъ въ тотъ день хозяинъ гуся жарилъ; ну, она увидала и говоритъ — курицу зажарилъ; выругала хозяина да въ полицію ходила жаловаться, только оттуда ее выгнали...

Въ другой половинѣ жилъ, въ комнаткѣ съ кухней, чиновникъ Василій Петровичъ Травнинъ. Бѣдный былъ человѣкъ Василій Петровичъ. Служилъ онъ въ уголовной палатѣ. Учился онъ въ семинаріи, кончилъ курсъ. Просилъ три года священническаго мѣста, да все мѣстъ не было; а другимъ давали. Потому ему не давали, что у него не было денегъ и родныхъ. Ну, и захотѣлъ поступить въ гражданскую службу; уволили изъ духовнаго вѣдомства. Таскался въ разныя присутственныя мѣста, да видятъ, сюртучишко на немъ не сюртучишко, ободранный, да засаленный такой, физіономія неприглядная, да, такъ ужъ одно къ одному изъ рта вино тащитъ — и не опредѣляли. Ладно, что товарищъ же его столоначальникъ попросилъ секретаря — и приняли. Сначала Василій Петровичъ съ листа писалъ: это значитъ, переписывалъ за двѣ копейки листъ. Хорошо еще, что регентомъ пѣвчихъ былъ въ какой-то церкви: тутъ приходилось рублей десять въ мѣсяцъ. Черезъ полгода его опредѣлили канцеляристомъ, рѣшенія давали писать, жалованья давали 12 руб. Хорошо жилъ два года Василій Петровичъ, въ крѣпостномъ столѣ сидѣлъ, доходишки были, платье хорошее завелъ и пѣвчихъ бросилъ, когда столоначальникомъ сдѣлали, да когда чинъ получилъ. Потомъ женился, жену мѣщанку взялъ, красивую да толковую. По любви женился: хоть и богатыхъ предлагали, да не хотѣлъ. «Паша бѣдна, зато я люблю ее, и она меня любитъ», говаривалъ онъ. Жилъ такъ Василій Петровичъ года четыре, да и сбился съ панталыка. Съ секретаремъ разъ разругался. Секретарь, знаете ли, деньги взялъ съ купца, а купецъ ему не далъ, потому зналъ, что Василій Петровичъ если видитъ, что богатый обижаетъ бѣднаго, не бралъ ни съ того ни съ другого, по закону писалъ рѣшеніе. Секретарь перечеркнулъ рѣшеніе и велѣлъ Василію Петровичу написать, какъ ему хотѣлось, или отдать долгъ купцу. Василій Петровичъ разсердился: «Сами пишите рѣшеніе, а я не буду», говорилъ онъ.

— А отчего? — спрашиваетъ секретарь.

— Да какъ же, дѣло выигрываетъ мѣщанинъ.

— Я вамъ приказываю.

— А я не хочу исполнять.

— Какъ вы смѣете мнѣ говорить грубости. Вы

пьяны, милостивый государь!—А Василій Петровичъ въ то время не пилъ водки; онъ ужъ года четыре не пилъ ея.

— Врете вы.—Ну и пошла катавасія. Кричатъ на всю палату, такъ-что всѣ служащіе перья покидали слушая, какъ Василій Петровичъ «касторитъ» секретаря. Ну, секретарь, одно слово что секретарь, велѣлъ сапоги снять съ Василія Петровича сторожамъ, да трое сутокъ не выходить изъ палаты, а Василій Петровичъ не дался, ушелъ изъ палаты, завернулъ въ питейный, напился пьяный, дома жену прибилъ, она и думать не думала, чтобы съ Васенькой такая штука вышла. Она все хвасталась знакомымъ, что ее Васенька и пальцемъ не трогивалъ и дурой не называлъ; все дивилась, какъ это мужья женъ колотятъ, а тутъ бѣда такая случилась!.. да какая еще: двѣ недѣли изъ дома не выходила—больно ужъ избилъ Васенька!..

На другой день пошелъ Василій Петровичъ на службу, дорогой въ питейный зашелъ, для храбрости двѣ косушки выпилъ. Пришелъ въ палату и секретарю не поклонился, а сзади кулакъ показалъ. Часа два занимался Василій Петровичъ, какъ вдругъ секретарь опять два дѣла съ рѣшеніями принесъ къ Василью Петровичу, бросилъ на столъ и слова что есть не сказалъ.

Служащіе подсмѣиваются надъ Василіемъ Петровичемъ: «что, обзатылили! — говорятъ:—пиши-ка снова».

Взялъ Василій Петровичъ дѣла съ рѣшеніями, пошелъ къ предсѣдателю, жалуется на секретаря, а тотъ ужъ «набухвостилъ» предсѣдателю, что Травнинъ и грубъ, и пьяница, и такое, сякое наговорилъ.

— Вы дѣлайте то, что вамъ приказываютъ, а иначе въ отставку выходите,—сказалъ предсѣдатель. Ушелъ Василій Петровичъ отъ предсѣдателя, выругалъ его и секретаря, бросилъ дѣла и ушелъ: въ питейномъ такъ и ночевалъ. Домой пришелъ, опять жену выбилъ, да такъ и бился двѣ недѣли. Въ палатѣ смотрятъ, нѣтъ Василія Петровича; имъ на руку: уволили его отъ должности за пьянство, и аттестатъ черезъ полицію выдали. Василій Петровичъ совсѣмъ спился, всю одежду свою пропилъ, за женину принялся; всю жену бѣдную изувѣчилъ: воетъ бѣдняжка, ходитъ избитая...

— Кто тебя, матушка, искалѣчилъ такъ-ту?—спрашиваютъ ее знакомые.

— Охъ и не говори! Мужъ собака.

— Что-ёто съ нимъ! Ты бы пожаловалась. Эхъ сердечная, какъ онъ ее уходилъ...

Пошла было къ губернатору жаловаться, да прогнали ее. Пошла къ полиціймейстеру, житья молъ нѣтъ. Тотъ казаковъ послалъ за Василіемъ Петровичемъ. Высидѣлъ Василій Петровичъ двѣ недѣли въ полиціи. Ну, ужъ и досталось женѣ! За косу ее, бѣдняжку, привязалъ къ столу, да билъ веревкой, а потомъ и изъ дома выгналъ.

А она-то чѣмъ бѣдная виновата?

Дошло до того, что никто Василію Петровичу не сталъ вѣрить въ долгъ. Спохватился Василій Петровичъ, вспомнилъ и про жену; жалко стало, разыскалъ ее: она у кого-то въ стряпкахъ жила; уговорилъ ее: пришла опять къ нему больная такая. Полгода прошло, какъ уволили Василья Петровича. Секретарь тѣмъ временемъ въ отставку вышелъ, предсѣдатель тоже другой сталъ. Пошелъ Василій Петровичъ опять въ палату, приняли опять сначала по волѣ, потомъ въ штатъ. Опять сталъ писать рѣшенія, и чудный былъ человѣкъ. Какъ это примется писать рѣшенія, только листы шумятъ въ дѣлѣ, да перо свиститъ, а какъ запьетъ, такъ и не ходитъ мѣсяцъ. Ну, и знали, что тревожить не слѣдуетъ: пропьется—опять прійдетъ на службу. Такъ и было: прійдетъ, за десятерыхъ сдѣлаетъ. И столоначальнику хорошо, и другихъ поучитъ, какъ сдѣлать то или другое, и начальство довольно.

Жена у Василія Петровича не долго прожила. Отъ побоевъ ли, либо отъ какой болѣзни, только умерла черезъ годъ, какъ опредѣлился снова въ палату Василій Петровичъ.

Ужъ какъ плакалъ надъ ней Василій Петровичъ, жалко смотрѣть на него было.

— Уколотилъ,—говорилъ онъ тогда, — уколотилъ я тебя, голубушку! А чѣмъ ты виновата? И подлинно она ничѣмъ не виновата была.

Опять запилъ Василій Петровичъ пуще прежняго... «Эхъ,—говаривалъ,—жена умерла, съ горя пью!» Мѣсяца по два на службу не ходилъ, до одной рубашки допивался.—Да ладно перешла къ нему жить жена извозчика Анна Матвѣевна. А она была сестра хозяину, у котораго жилъ Василій Петровичъ на квартирѣ въ Солдатской Слободкѣ. Раньше она жила у мѣщанина въ Разгуляѣ, гдѣ жилъ и Василій Петровичъ, водку ему покупала; ну, и познакомились. Трезвый Василій Петровичъ жилъ съ ней владу, деньги всѣ отдавалъ, а пьяный, какъ заругаетъ она его, онъ и бьетъ ее; ну, и она колачивала его,—здоровая была баба. Какъ только начнетъ онъ ее колотить, она свяжетъ его веревкой и притащитъ на кровать, да къ кровати-то еще привяжетъ его. Вотъ какая была! Да! Такъ и мыкался Василій Петровичъ послѣ жены года два да ругалъ секретаря, да тотъ ужъ и самъ умеръ.

II.

На этой квартирѣ Василій Петровичъ жилъ три года. Анна Матвѣевна его тутъ зазвала жить, да и ему нравилось: потому народъ простой, выпить близко, и подерется съ кѣмъ-нибудь пьяный или его кто поколотитъ — только сосѣди-солдаты видятъ...

Анна Матвѣевна пребойкая была женщина: она въ огородѣ, что былъ противъ оконъ, за дворомъ, капусту да рѣдьку садила, двѣ коровы держала, десять курицъ у нея было; вотъ она и продавала молоко да масло или яица, лѣтомъ грибы да ягоды продавала—можно было жить, да и Василій Петровичъ тоже 15 руб. жалованья приносилъ; доходы были; прошенія писалъ. Только не водилось у нихъ денегъ. Ужъ Анна Матвѣевна, когда Василій Петровичъ не пилъ, водку ведромъ брала, да въ голбцѣ

прятала, а Василій Петровичъ, какъ запьетъ, ему не достанетъ ведра, пропьетъ и деньги. Ладно, если бы онъ одинъ пилъ, и дома, а то возьметъ денегъ 5 руб. и ползъ въ кабакъ: кто есть въ немъ, силой заставляетъ пить, а кто не пьетъ, то штофы съ водкой на полъ бросалъ. Буйный былъ человѣкъ. Ну, и закладывали вещи; однажды корову продали. Ужъ какъ жаль было Аннѣ Матвѣевнѣ коровы, да что дѣлать! А тутъ одно къ одному, захворалъ Василій Петровичъ, четвертый мѣсяцъ едва съ кровати встаетъ; сядетъ писать, кашель мучитъ, ну и лежитъ да водку понемногу пьетъ: какъ выпьетъ,—и легче. Подъ конецъ ужъ и вставать не могъ, и ѣсть ничего не ѣлъ, развѣ чаю напьется или молока стаканъ выпьетъ. Потомъ у Анны Матвѣевны корову украли, пять курицъ пропало... Денегъ мало стало... Бѣда подошла, а Василію Петровичу и жалованье перестали давать. Какъ не сталъ вставать съ кровати Василій Петровичъ, Анна Матвѣевна лѣкаря приглашала; тотъ лѣкарство ей далъ, полтора рубля взялъ, она и не стала его приглашать, а фельдшеръ знакомый лѣчилъ. Ужъ онъ и піявки ставилъ къ спинѣ Василія Петровича, и кровь пускалъ, и слабительное давалъ, да ничего не помогло. Ему Анна Матвѣевна рублей до восьми передавала и отказала совсѣмъ, а стала травой какой-то лѣчить сама; окна нарочно закрыла ставнями въ комнатѣ, чтобъ мухи не ѣли Василія Петровича, да ничего не помогло. Василію Петровичу все хуже, да хуже было...

III.

Однажды спрашиваетъ Анну Матвѣевну Василій Петровичъ: «А что, Аннушка, есть у тебя деньги?»

— Охъ, Василій Петровичъ, и не говори! Передъ Богомъ говорю, десять рублей только съ долгами...

— Ты, какъ умру я, никого не зови, а просто попроси священника отпѣть, да и свали въ яму.

— Что-йто, Христосъ съ тобой, Богородица! да еще поживи.

Исповѣдался Василій Петровичъ, «масломъ пособоровали его». Сталъ дожидаться онъ смерти, да еще двѣ недѣли ждалъ.

Изъ служащихъ къ нему никто не ходилъ. Только Павелъ Герасимычъ ходилъ, тотъ самый, что жилъ рядомъ съ хозяиномъ.

— Ну, что? — спросилъ Павелъ Герасимычъ Василія Петровича.

— Плохо... Въ Елисейскія скоро приходится отправляться.

— Чудно это, слышь: когда человѣкъ живетъ, не вѣрится, что онъ умретъ, а какъ умретъ, и не вѣришь, что онъ жилъ.

— Вотъ ты увидишь, каковъ я буду мертвый.

— А поди—не хочется умирать?

— Скорѣе бы умеръ, лучше. Ты пойми, что я былъ за человѣкъ, а вѣдь кокарду на шапкѣ носилъ! А кто зналъ, сколько я горя перенесъ? Вѣдь никому не жаль будетъ, что я умеръ.

— Такъ оно... А ты собачку мнѣ подари. куда она безъ тебя... А я, братъ, складчину сдѣлаю, какъ ты умрешь.

— Нѣтъ, Паша, не христарадничай. Мнѣ все равно, какъ меня ни схоронятъ...

Павелъ Герасимовичъ долго ждалъ смерти Василія Петровича. Чуть гдѣ завоетъ собака, онъ и поетъ со святыми упокой, и бѣжитъ справляться, не умеръ ли. А Василій Петровичъ все кашляетъ.

— Экой кондовой! А задамъ я праздникъ,—думаетъ про себя Павелъ Герасимычъ:—соберу-таки денежекъ. И записки ужъ сталъ сочинять.

Не зналъ этого Василій Петровичъ, а то выругалъ бы его.

IV.

Въ одно утро вдругъ изъ комнаты Василія Петровича раздался вой Анны Матвѣевны. Вингъ хозяинъ, жена его, чиновница и Павелъ Герасимычъ пришли туда. Василій Петровичъ лежитъ мертвый на кровати, долгій такой... Анна Матвѣевна стоитъ передъ нимъ на колѣняхъ и цѣлуетъ голову и руки.

Вошедшіе перекрестились.

— Вотъ она жизнь-то наша! Живемъ, живемъ, да и помремъ,—дивилась хозяйка.

— Дай, Господи, царство небесное!—проговорила чиновница и перекрестилась:—хорошій былъ человѣкъ.

— А ты чего рюмишь, ровно надъ мужемъ?—закричалъ на Анну Матвѣевну хозяинъ:—ты наперво омой его да на столъ положи.

— Охъ, голубчики мои, тошно! На что я схороню-то его?—выла Анна Матвѣевна.

— Вы, Анна Матвѣевна, не безпокойтесь. Схоронимъ такъ, что любо,—сказалъ Павелъ Герасимычъ.

— Да гдѣ ужъ намъ. Вотъ что есть и читать-то по немъ некому.

— А барыню попросимъ,—сказалъ солдатъ.

— И рада бы, голубчикъ, да къ купчихѣ приглашали сегодня.

— Ты наплюй на купчиху-то, Василій Петровичъ поди почище купчихи-то былъ. Кокарду носилъ.

— Ты не обзывай купчиху. А я ужъ читать не стану. Самъ-то ты ничего не стоишь,—да и покойника попрекнула Анной Матвѣевной.

— Ну, и убирайся! пошла отсель! И съ квартиры моей долой, шельма этакая! Я-съ то, не я-съ, барыня! Ишшо очки надѣла,—сказалъ солдатъ.

— Пообзывайся еще, крапивное сѣмя!

Вышвырялъ солдатъ барынину одежду на улицу, выругала барыня солдата, въ полицію ходила жаловаться, да солдатъ пять рублей далъ частному...

Между тѣмъ Павелъ Герасимычъ вынулъ изъ кармана двѣ записки.

— Эта вотъ въ палату. Слушайте!

„Милостивые государи!

«Вашъ товарищъ Василій Петровичъ Травнинъ сего числа приказалъ вамъ долго жить. Милостивые государи! примите во вниманіе его подвиги, подумайте, какъ онъ страдалъ. Милостивые государи! Его не на что хоронить! Онъ живетъ со мной на квартирѣ. Посочувствуйте вашему товарищу. Гос-

подъ вознаградитъ васъ сторицею. Пожертвуйте хотя немного, все получите сторицею. Онъ утѣшится и у престола Всевышняго воздастъ за васъ свои моленія».

— Ахъ, Павелъ Герасимычъ, какъ ты хорошо написалъ!—замѣтила хозяйка.

— Чѣмъ мнѣ благодарить васъ!—сказала Анна Матвѣевна.

— А вы вотъ другую послушайте.

„Возлюбленные сотоварищи!

«Сего числа смерть поглотила въ свои объятія доблестнаго подвижника службы, вашего товарища по службѣ Василія Петровича Травнина. Потерпѣвъ много бѣдъ, онъ заболѣлъ, и умирая просилъ меня просить васъ, добрыхъ товарищей, пожертвовать ему на погребеніе. У него даже рубашки нѣтъ! Посочувствуйте сотоварищи! У него жена, семеро крошекъ дѣтей, малъ мала меньше!»...

— Ты чего-то нескладно пишешь! Гдѣ же дѣти-то?—сказала Анна Матвѣевна.

— Да нельзя безъ того. Эта записка по другимъ вѣдомствамъ пойдетъ, — сказалъ Павелъ Герасимычъ.

— Нѣтъ, ты ужъ выкинь дѣтей-то. Василій Петровичъ осердится,—сказала Анна Матвѣевна.

«Посочувствуйте! — началъ Павелъ Герасимычъ:—Принесите свою лепту. Богъ со издою воздастъ вамъ. За всякое даяніе, да будетъ вамъ благословеніе Божіе».

Заплакала Анна Матвѣевна и хозяйка. — Хорошій вы человѣкъ,—сказала Анна Матвѣевна.

Анна Матвѣевна вымыла Василія Петровича, напялила на него уцѣлѣвшій вицмундиръ, худенькіе сапоги и съ хозяйкой уложила на два стола въ комнатѣ. Потомъ ушла заказывать гробъ, да къ священнику, а Павлу Герасимычу велѣла купить дорогой свѣчъ. Хозяйка ушла къ знакомой старушкѣ, чтобы она читала надъ покойникомъ, а Павелъ Герасимычъ ушелъ собирать деньги.

Пришелъ онъ въ уголовную палату, сказалъ о смерти Василія Петровича.

— Неужели умеръ?—замѣтили многіе.

— Скажите, пожалуйста! можно ли было ожидать,—сказали нѣкоторые.

— Да съ вина, поди, сгорѣлъ!—сказали двое.

Сталъ просить Павелъ Герасимычъ жалованье. Не дали. Пошелъ съ листомъ; подошелъ къ столоначальнику.

— Что вамъ нужно? — спросилъ столоначальникъ.

— Прочитайте, пожалуйста! Онъ отдалъ листъ.

— Что тутъ такое?—Столоначальникъ прочиталъ.—Денегъ нѣтъ.

— Да хоть немного-съ.

— Что вы лѣзете? Всякой дряни по-вашему жертвовать?.

— Да онъ у васъ служилъ.

— Ступайте къ другому.

Другой говоритъ: у меня у самого семейство. Не многіе жертвовали: кто 10, кто 5, кто и 3 коп. Не нравилось Павлу Герасимычу, когда онъ подносилъ листъ, и ему говорили:

— Ты, скотина, опять шляешься?

— Я не о себѣ.

— Знаю не о себѣ. Ты вѣчно складчины дѣлаешь.

— Ахъ, милостивый государь, у васъ сочувствія нѣтъ къ товарищу. Вѣдь Василій Петровичъ здѣсь служилъ.

— Что за дѣло, что здѣсь служилъ. Самъ я небольшое жалованье получаю.

Бывали и такіе, которые гнали Павла Герасимыча.

Едва-едва Павелъ Герасимычъ получилъ отъ надсмотрщика 50 коп. сер.

— Вотъ такъ складчина! Экіе жидоморы!—говорилъ про себя Павелъ Герасимычъ, когда выходилъ изъ палаты.

Пошелъ онъ въ казенную палату. Прежде тамъ всякому подписывали деньги, хоть кто приди—теперь только не подписываютъ.

Изъ казенной палаты онъ унесъ 7 р. 15 к.

— Ай-да и казенная палата! Не даромъ она деньгами богата! — говорилъ Павелъ Герасимычъ, выходя изъ казенной палаты:—будетъ мнѣ выпить.

А въ палатѣ имуществъ съ нимъ казусъ вышелъ.

Только онъ подошелъ, въ какомъ-то отдѣленіи, съ листомъ къ служащему, его и схватилъ кто-то за горло.

— Опять ты, подлецъ, шляешься!

Окружили Павла Герасимыча человѣкъ восемь.

— Это тотъ и есть, что на Х. сбиралъ?

— Онъ.

— Въ полицію его, каналью!

— Какую штуку онъ тогда, господа, сдѣлалъ. Собираетъ, знаете ли на Х. Ну, думали, бѣдный человѣкъ, отчего не помочь, подписали. Этотъ плутъ взялъ деньги да и пропилъ, а Х. намъ встрѣчается... Я, говоритъ, и не думалъ умирать.

Ладно еще къ счастью Павла Герасимыча, совѣтникъ въ это время пришелъ въ отдѣленіе, и Павелъ Герасимычъ, давай Богъ ноги, чуть не бѣгомъ бросился къ дверямъ — такъ безъ оглядки выбѣжалъ на улицу. А то сидѣть бы въ части. Да ему, впрочемъ, и не привыкать стать сидѣть тамъ.

Постоялъ немного у крыльца палаты, подумалъ, идти ли еще куда-нибудь.—«Нѣтъ, не пойду, пожалуй засадятъ. Оно ничего, что засадятъ, а то деньги отнимутъ».—Пошелъ на рынокъ въ харчевню. Десятокъ пироговъ да сотню пельменей съѣлъ, потомъ въ питейный зашелъ, полштофа очищенной купилъ, выпилъ съ мужиками-бурлаками, еще купилъ, да тамъ и уснулъ. Проснулся ужъ утромъ. Голова болитъ, опохмѣлиться надо, деньги есть. Хвать въ карманъ пальтишка—пусто... Взревѣлъ Павелъ Герасимычъ. Обокрали! кричитъ.

— Вотъ ужъ есть кого обокрасть! Ишь богачъ какой выискался. Самъ вѣрно обокралъ кого-нибудь!—закричалъ сидѣлецъ.

— Врешь ты, подлая твоя харя! — И пошла потасовка. Долго ругался Павелъ Герасимычъ и доругался, что его, любезнаго, въ часть увели...

V.

Тѣмъ временемъ Анна Матвѣевна привела домой гробовщика-солдата. Смѣрилъ солдатъ покойника, порядился за два рубля гробъ сдѣлать и ушелъ. Солдатъ-хозяинъ два подсвѣчника принесъ, свои деньги заплатилъ, а жена его старушку привела. Стала старушка въ головахъ у покойника и читаетъ псалтирь. Сосѣди всѣ перебывали, всѣ пересмотрѣли покойника, пожелали царства небеснаго, поахали и пожалѣли его, а Анна Матвѣевна сидитъ на кровати, смотритъ на людей да на покойника и ждетъ, не дождется Павла Герасимыча.

— Куда это онъ, разбойникъ, ушелъ? Ужъ не лежитъ ли гдѣ пьяный?—говоритъ хозяйка.

— Поищи ты его, братъ!—проситъ Анна Матвѣевна хозяина.

— Вотъ ужъ кому поручила! Розиня, такъ розиня и есть, и этого смыслить не можетъ!

— Гдѣ же я стану искать-то!—сердился солдатъ.

Ушли изъ комнаты всѣ, остались только Анна Матвѣевна да старушка.

— Нѣтъ ли, матка, у тебя чего похлебать?—спрашиваетъ старушка.

— И! мать моя, ничего не варила, и хлѣбушка, что есть, нѣтъ.

Достала старушка изъ кармана платья калачикъ, ѣстъ и читаетъ, и молится, и табакъ нюхаетъ...

— А ты, голубушка, давно замужемъ?—спрашиваетъ старушка.

— Пятый годъ.

— Это за нимъ-то?—Указываетъ на покойника.

— Нѣтъ, я у него экономкой жила.

— Знаю,—сказала старушка, и стала читать.

Не понравилось Аннѣ Матвѣевнѣ, какъ она важно сказала:—знаю... Дивится—какъ это старушка и ѣстъ, и читаетъ, только разобрать ничего нельзя.—Если бы я грамотная была, не поклонилась бы я никому, сама бы стала читать,—думаетъ Анна Матвѣевна, а сама все смотритъ на старушку. Не нравится что-то ей старушка: ужъ листы то впередъ, то взадъ часто перекидываетъ, да и разобрать ничего нельзя.

— Ты бабушка, все ли читаешь?—спросила она старушку.

— А тебѣ что за дѣло?

— Такъ я. Только ты ужъ больно часто листы-то перебираешь.

— Ишь какая указчица еще! Возьми, да и читай сама!

— Чего читай сама? Ты-то все читай.

— Побольше твоего знаютъ.

— То-то побольше. Сами не маленькіе. Деньги-то любите, небось, брать, а усердія нѣтъ, небось.

— А ты, шкура этакая! Да тебѣ что за дѣло?—озлилась старуха и бросила псалтирь.

— Ты не ругайся! Ты вишь, покойникъ лежитъ.

Пришелъ солдатъ, прогналъ старуху и Анну Матвѣевну выругалъ. Осталась Анна Матвѣевна одна; горюетъ, что и почитать-то по душенькѣ Василія Петровича некому. Вечеромъ священникъ съ дьячкомъ пришелъ. Людей человѣкъ десять собралось, такъ-что и прохода не было. Священникъ ризу сталъ надѣвать.

— А свѣчи гдѣ?—спросилъ онъ.

— Да Павелъ Герасимычъ еще не бывалъ.

— А кто читаетъ?—спросилъ онъ.

— Была, батюшка, старушка Сергѣевна, да читать не умѣетъ, ну мы и прогнали ее,—вступился солдатъ.

— Какъ же безъ свѣчей? Я и служить не стану.

— Дѣло-то, батюшка, бѣдное, сказалъ солдатъ.

— Ужъ отслужи, сдѣлай божескую милость!

Нечего дѣлать, отслужилъ священникъ. Когда уходилъ, больно ужь недоволенъ былъ. Сосѣди погоревали и сдѣлали складчину: кто пятачекъ, кто гривенку далъ Аннѣ Матвѣевнѣ. Стыдно Аннѣ Матвѣевнѣ, а взяла; хозяинъ братъ ея, еще ругается:—ты жила съ нимъ ты и справляйся...

Ночью Анна Матвѣевна спала въ кухнѣ у хозяина: боялась спать съ покойникомъ въ одной комнатѣ. Утромъ сама пошла въ палату, вызвала того столоначальника, у котораго Василій Петровичъ занимался.

— Что матушка, скажете?—спросилъ ее столоначальникъ.

— Батюшка, голубчикъ, помоги ты моему горю.

— Ну, чего тебѣ?

— Василій Петровичъ умеръ. Не дашь ли ты денегъ?

— Какой Василій Петровичъ?

— Да у васъ еще въ столѣ сидѣлъ.

— А ты кто такая?

— Я стряпка его.

— Ахъ ты, гадина этакая! Вчера еще собирали на него деньги, а теперь опять шляются. Вонъ пошла!

— Да, батюшко, тотъ, кто ушелъ, и теперь еще не пришелъ домой.

— А ты вѣрно въ полиціи не сидѣла?—спросилъ ее подошедшій служащій.

Хорошо, что подошелъ еще какой-то служащій: онъ сказалъ, что не нужно было вчера подписывать тому пьянчужкѣ, что онъ-де пропилъ деньги. Съ Анной Матвѣевной повѣжливѣе стали говорить.

— Этакой скотина! Да ты зачѣмъ же его послала?

— Ахъ, отцы родные! Да кого же я пошлю-то? Денегъ никто не далъ, хотѣли только завтра проводить покойника.

Пошла было къ губернатору, да не пустили; такъ и ушла ни съ чѣмъ домой.

Послѣ обѣда пришли посмотрѣть покойника трое чиновниковъ; какъ увидѣли, что никто по немъ не читаетъ—головой покачали. Какъ разсказали про Павла Герасимыча—всѣ ахнули, только не знаютъ, куда онъ пропалъ.

Принесли гробъ, деньги просятъ.

— Батюшки мои! Гдѣ я возьму денегъ? За душей копейки нѣтъ,—вопитъ Анна Матвѣевна.

— Ты давай, нечего разсуждать. Не отдашь денегъ, назадъ унесемъ—другому пригодится.

Пришелъ могильщикъ, деньги требуетъ.

Воетъ Анна Матвѣевна: нѣтъ денегъ.

Пришелъ хозяинъ, говоритъ: священникъ за отпѣванье денегъ проситъ.

Казакъ пришелъ, требуетъ Анну Матвѣевну въ часть: какая-то, говоритъ, старуха жалобу подала, въ свидѣтели ставитъ Анну Матвѣевну...

Смотрѣли, смотрѣли чиновники да сосѣди, и давай складчину дѣлать. Собрали 4 рубля да завтра хотѣли принести еще, а на Павла Герасимыча обѣщали просьбу подать.

Ушли чиновники и сосѣди, ушла и Анна Матвѣевна въ часть, да по пути шубу съ собой захватила: хотѣла заложить, да не взяли, 2 руб. давали, а Анна Матвѣевна восемь рублей просила; шуба старая была, еще отъ мужа какъ-то она утащила...

А Василій Петровичъ лежитъ себѣ, не шевельнется, не вздохнетъ, глазомъ не пошевелитъ... Все ему ни по чемъ. Чего ему: мертвый, дѣлай что хочешь; правду говорилъ: «мертвому ничего не нужно».

VI.

Утромъ хозяйка встала рано, къ 8-му часу совсѣмъ отстряпалась. Добрая была женщина, понимала бѣдность, на свой счетъ кутью и кисель сдѣлала, пирогъ большой съ рыбой состряпала, рыбы зажарила. День постный былъ.

Анна Матвѣевна въ двѣ церкви ходила за священникомъ, да толку не добилась. Пошелъ ужъ хозяинъ; велѣлъ священникъ приносить покойника въ церковь къ обѣднѣ, хозяинъ ему и деньги впередъ отдалъ. Пришло 7 человѣкъ служащихъ. Уложили Василія Петровича въ гробъ, двое крышку взяли, двое подсвѣчники, солдаты понесли балдахинъ съ гробомъ. Человѣкъ пять сосѣдей провожали; пошла и Анна Матвѣевна съ братомъ хозяиномъ и бабушкой хозяйки. А хозяйка осталась дома, полы вымыть хотѣла въ комнатѣ и кухнѣ, гдѣ жилъ Василій Петровичъ.

Священникъ скоро отпѣлъ Василія Петровича.

Какъ стали прощаться съ нимъ, откуда ни возьмись, и Павелъ Герасимычъ явился въ церковь и поетъ: «Со святыми упокой».

— Гдѣ ты былъ, разбойникъ?—напустился на него солдатъ-хозяинъ.

— Въ полиціи, родные, сидѣлъ; тамъ и деньги украли.

Пришелъ онъ пьяный. Въ полиціи вытащилъ, ночью, у пьянаго мѣщанина изъ сапогъ два семигривенныхъ, и какъ выпустили его, онъ и выпилъ.

Положили Василія Петровича въ яму на кладбищѣ, каждый посыпалъ на гробъ земли; зарыли его, вздохнули всѣ и пошли на квартиру къ Аннѣ Матвѣевнѣ. Хозяинъ штофъ водки поставилъ на столъ; да что штофъ,—его недостанетъ одному Павлу Герасимычу. Подумали, подумали чиновники, пошептались: «чего, братцы, только рыльце помазали, кишки расшевелили, сдѣлаемъ складчину»... Ну, собрали денегъ пять рублей. На три рубля водки купили, а два рубля отдали Аннѣ Матвѣевнѣ на расходы. И угостились-таки служащіе! До ночи хозяинъ не могъ ихъ выжить, да и самъ онъ пьянъ былъ. Трое едва домой уплелись, а четверо въ окнахъ стекла разбили, сами разодрались да тутъ и уснули. На что хозяинъ—человѣкъ смирный, и тотъ выгналъ изъ дома жену; Анну Матвѣевну тоже вытолкалъ изъ дома.

Съ той поры Анна Матвѣевна въ стряпкахъ у кого-то живетъ, а Павелъ Герасимычъ не ходитъ больше собирать денегъ на покойниковъ: говорятъ, въ Сибирь за что-то услали.

Вы, читатель, можетъ-быть, думаете, я вру.

Вольно вамъ, пожалуй, не вѣрить. Послужили бы вы на мѣстѣ Василія Петровича, такъ узнали бы, вру я или нѣтъ. Примѣровъ у насъ много. Въ нашемъ городѣ жалованье даютъ, какъ вздумается начальству, а умри служащій—пособія не даютъ, развѣ складчину товарищи сдѣлаютъ и погуляютъ на похоронахъ бѣдняка, какъ никогда у живого не гуляли. Не будь складчины, такъ бѣднаго чиновника хоть въ землю вали безъ отпѣванія. Бѣдности никто не вѣритъ. Вотъ у насъ еще лотереи бываютъ; ну, тѣ не на похороны... О нихъ я вамъ скоро разскажу.

Лотерея.

I.

Въ городѣ Н. теперь уже нѣтъ домовъ подъ монастыремъ. Старые были тутъ дома, да и люди-то въ нихъ жили все бѣдные: мѣщане, бѣдные чиновники, семинаристы. Жили они тутъ потому, что квартиры были дешевыя, рѣка въ двадцати шагахъ; осенью, когда шелъ ледъ, ловили поломанные дождемъ мостики, бревна, доски, дрова; лѣтомъ рыбачили или съ берега, или отъ елки *), или отъ заѣздковъ; ставили подольники, неводили. Каждый житель имѣлъ одну, двѣ лодки. Въ этомъ-то мѣстѣ и родился Гаврила Семенычъ Павловъ. Отецъ его былъ восемнадцать лѣтъ канцелярскимъ служителемъ и столько же лѣтъ служилъ въ земскомъ судѣ, нигдѣ не обучался, писалъ скверно; попытался было пробить себѣ дорогу наушничествомъ, и дали ему мѣсто столоначальника, да какъ попалъ два раза подъ судъ, его и смѣстили опять въ писцы. Получалъ онъ жалованья сначала 12 р. на ассигнаціи, потомъ 7 р. на серебро, изъ которыхъ половину пропивалъ.

Главное его занятіе послѣ службы было рыболовство удочкой, подольниками и снастями. У него была жена, женщина смирная. Съ ней онъ жилъ

*) Къ верхушкѣ елки привязываютъ камень пудовъ въ 7 или 8, къ камню привязываютъ веревку сажени въ 3 и болѣе. Брошенная съ камнемъ елка лежитъ въ водѣ. Наплавъ, привязанный къ веревкѣ, обозначаетъ елку. Рыболовъ зацѣпляетъ лодку по серединѣ за сучекъ отъ комля елки. Противъ елки несетъ лѣсъ тихо, а около корму пристаивается рыба.

владу, но ни за что не оставлялъ дома, когда на праздникахъ или въ хорошую погоду отправлялся на рыболовство, по ягоды или грибы, и только тогда не сталъ брать ее съ собою, когда она родила сына, котораго назвали Гавриломъ. Радовался отецъ сыну: «кормилецъ будетъ»,—говорилъ людямъ, а женѣ говорилъ: «дочерей я не желаю имѣть». Не послушалась однако жена, родила еще ему дочь на другой годъ, Серафимой назвали. Долго ругался Павловъ. Въ воду хотѣлъ бросить малютку, да людей боялся...

Жили они въ комнаткѣ съ кухней. Лѣтомъ, сквозь крышу и потолки, въ комнатку и кухню, въ большой дождь, ручьи лились; ночью покою не было отъ блохъ, клоповъ, таракановъ и мышей. Они и спали на крыльцѣ, когда не было дождя, а въ дождь подъ лодку забирались, которая отъ дома въ пяти шагахъ лежала. Зимой имъ каждый день доводилось мерзнуть. Всѣ стекла во всемъ домѣ были затянуты снѣгомъ, а сквозь стѣны, хотя ихъ и утыкалъ хозяинъ каждую осень, вѣтеръ дулъ, холодомъ несло. Съ потолка куржакъ всю зиму не сходилъ. Про полъ и говорить нечего. Только тогда и тепло, когда печь топится, и то тепло у печи. Мученье была для нихъ зима, а гдѣ найдешь квартиру, когда и за эту они платили полтора рубля въ мѣсяцъ.

Другое мученье зимой для нихъ были дѣти. Кричатъ да ревутъ цѣлыя сутки, хоть изъ дому бѣги, и одѣть-то ихъ не во что. Ругается отецъ, что ему и на печкѣ покоя нѣтъ. «Ужъ отдать бы что ли ихъ куда-нибудь!»—говорилъ онъ, а мать тоже на печкѣ то того, то другого ребенка ударитъ, до слезъ ругается, проклинаетъ мужа и свою жизнь... Такъ они бились, когда сыну наступилъ пятый годъ, а дочери четвертый, когда они уже стали бѣгать и говорить. Тогда зимой стлала мать въ печкѣ половикъ, и толкала дѣтей въ печь. Спали дѣти въ печкѣ безъ подушки спокойно, тихо, по крайней мѣрѣ никто ихъ тогда не билъ, а то днемъ каждому то пинокъ ногою отъ отца, то колотушка отъ матери. Утромъ ихъ мать вытаскивала изъ печки за ноги, колотила: «У, пострѣлята! сказано, выходите!» Потомъ клала дрова и топила печь...

Отъ отца, матери и людей дѣти немногому выучились. Сынъ научился рыбачить; отличалъ, на восьмомъ году, красный грибъ отъ бѣлаго, синявку отъ кульбика, масленикъ или рыжикъ отъ поганыхъ грибовъ; съ ребятами научился играть въ бабки; съ семинаристами лазилъ на крыши и кидалъ съ ними гальками изъ архіерейскаго сада въ рыболововъ. Дочь выучилась печь пироги и калачи, которые и продавались на рынкѣ; научилась обманывать бурлаковъ, наслышалась разной брани, и умѣла полоскать въ рѣкѣ бѣлье, которое стирала мать ея.

Присовѣтовали Павлову отдать сына въ школу.

Отдалъ онъ сына. Не давалась грамота Ганѣ. Мѣсяца три онъ на азахъ просидѣлъ, черезъ годъ сложеніе дѣлать выучился. Некогда было лѣтомъ Ганѣ учиться. Только-что свѣтаетъ, отецъ и толкаетъ его ногой: «Ганька! Ганька, шельмецъ! Будетъ тебѣ дрыхнуть!» Идетъ Ганя спросонокъ на рѣку, и рыбачитъ съ отцомъ; иногда и не клюетъ рыба, а сиди. Просидятъ на Камѣ до раннихъ обѣденъ, задрожитъ сердце у Гани: не хочется идти въ классъ... Наѣдятся всѣ дома щей или пироговъ съ брюшиной, и пойдутъ: мать съ дочерью на рынокъ, отецъ на службу, сынъ въ училище. Лѣтомъ Ганя рѣдко ходилъ въ училище, иногда недѣли по три шатался за рѣкой: то на другомъ рынкѣ, гдѣ не сидѣла мать, то подъ бревнами гдѣ-нибудь спалъ, то купался въ рѣкѣ. Когда онъ уходилъ изъ дома, то постоянно воровалъ или у сестры, или у матери калачи и пряталъ ихъ за пазуху въ свой халатъ. Била мать сестру за калачи; да та, какъ сказала на брата,—сталъ онъ хлѣбъ ржаной ломать, и истычетъ ломанное мѣсто, какъ будто мышь ѣла. Когда приходилъ Ганя въ училище, его драли немилосердно, весь день заставляли на колѣняхъ стоять. Зимой учить уроки ему было холодно, да и отецъ заставлялъ его смотрѣть морды. Отцу, кажется, было все равно, какъ ни учится его сынъ, и ему еще любо было, когда сынъ жаловался, что его всѣхъ больше дерутъ въ училищѣ. Годъ такъ помаялся Ганя, да и вовсе пересталъ ходить въ училище, и книги въ печку бросилъ, а отцу сказалъ, что украли. Отецъ и мать гоняли его въ училище. Онъ также бѣгалъ. Учитель послалъ за нимъ учениковъ къ отцу. Узналъ отецъ, на веревкѣ привелъ Ганю въ училище, отодралъ его такъ, что онъ едва съ пола всталъ. Не унялся Ганя... Розги ему ни по чемъ были. Сталъ отецъ драть его веревкой. Невтерпёжъ стало Ганѣ житье; задумалъ онъ убѣжать куда-то въ монастырь; ушелъ разъ утромъ; прошелъ за сибирскую заставу верстъ шесть; усталъ, сѣлъ на траву и заплакалъ, и горько ему было, и жаль чего-то...

Ѣхали крестьяне въ городъ.

— Эй, мальчуганъ! кто тебя бросилъ? — спросили они.

Плачетъ Ганя, слова отъ него не могли добиться. Насилу сказалъ, что живетъ на рѣкѣ, а идти туда не хочетъ.

Взяли крестьяне Ганю, посадили въ телѣгу и привезли къ рѣкѣ.

Пошелъ Ганя въ воду, утонуть хотѣлъ. Началъ тонуть, да люди во-время вытащили.

Исключили Ганю изъ училища. Сталъ онъ продавать съ сестрой калачи на рынкѣ, а тутъ вскорѣ отца за что-то уволили, потомъ онъ простудился и умеръ. Мать и пенсіи не могла себѣ выхлопотать; только черезъ члена приказа, на котораго она бѣлье стирала, она отдала сына снова въ канцелярское училище, на казенное содержаніе.

Одѣлся Ганя въ казенную курточку, стали опять учить снова. Сначала дичился Ганя товарищей, а потомъ привыкъ къ нимъ, но шалить не любилъ. Года три онъ учился дурно. Наконецъ, надоѣли ему розги и буйная жизнь товарищей; сталъ сидѣть одинъ въ углу, училъ уроки: самъ хотѣлъ дойти до всего, и хорошо учился.

По окончаніи курса, на 17-мъ году опредѣлили

Гаврилу Семеныча въ земскій судъ, давали жалованья 5 руб. Сталъ опять жить Гаврилы Семенычъ съ матерью и сестрой. Не нравилась ему мать, все просила у него денегъ, а ему негдѣ было взять. Черезъ годъ, какъ поступилъ на службу Гаврила Семенычъ, сестру его мать выдала замужъ за какого-то мѣщанина. Пьяница и воръ былъ мѣщанинъ. Не шла за него сестра Гаврилы Семеныча, да мать ея чуть ея однажды не выгнала изъ дома въ одной рубашкѣ.

Не нравилась Гаврилѣ Семенычу служба въ судѣ... Сталъ онъ проситься въ разныя присутственныя мѣста—не принимали.

Черезъ годъ, какъ поступилъ онъ въ земскій судъ, умерла его мать; черезъ полгода еще застрѣлился мужъ сестры. Она перешла жить къ нему, за комнату деньги свои платила. Ну, да ей можно было: секретарь знакомый холостой былъ.

Черезъ сестру-то, по протекціи секретаря, Гаврилу Семеныча и перевели въ губернское правленіе.

Черезъ годъ секретарь женился. Серафима Семеновна и ушла, потому-что Гаврилѣ Семенычу и самому-то нечѣмъ было жить.

II.

Въ губернскомъ правленіи Гаврила Семенычъ занимался перепиской утромъ съ 8-ми до 2-хъ и вечеромъ съ 5-ти до 10-ти часовъ; случалось и дома занимался. Жалованья онъ получалъ 7 р. въ мѣсяцъ. Жилъ онъ въ одной комнатѣ съ семинаристами, на Слудкѣ *), за 1 р. въ мѣсяцъ. Хозяйка дома, мѣщанка, была добрая женщина. Она покупала ему говядину, хлѣбъ и крупу, варила щи и кашу въ однихъ горшкахъ съ семинаристами, и если Гаврила Семенычъ видѣлъ, какъ она наливала, безъ церемоніи, щей въ свою чашку, и хлебала, то ничего не говорилъ.

На пищу у Гаврилы Семеныча выходило въ мѣсяцъ 5 р. На остальной рубль онъ покупалъ иногда чаю и сахару. Табакъ онъ курилъ корешки по 5 коп. за четверть фунта. Водку пилъ только тогда, когда кто-нибудь просилъ его выпить.

Немного было вещей у Гаврилы Семеныча. Дома онъ ходилъ въ старенькомъ отцовскомъ халатѣ, на службу въ форменномъ сюртукѣ; зимой надѣвалъ сверхъ этого сюртука худенькую изъ бараньей шерсти шубенку. На сундучкѣ стоялъ самоваръ, доставшійся ему отъ матери; въ сундучкѣ лежали: уцѣлѣвшія учебныя книги, которыя онъ вытаскивалъ въ апрѣлѣ, и повторялъ къ экзамену, что училъ въ канцелярскомъ училищѣ, зимняя нагрудка, галстукъ, варежки, колода картъ, двѣ бабки, три костяныя пуговки, два бронзовыхъ кольца и серебряные поломанные часы съ бронзовой цѣпочкой, доставшіеся отъ сестры. Спалъ онъ на войлокѣ и подушкѣ, одѣваясь—лѣтомъ халатомъ, зимой шубой.

Надоѣло ему служить и въ губернскомъ правленіи; трудно, а жалованье небольшое. Все ему хотѣлось уѣхать въ какой-нибудь уѣздный городъ секретаремъ или столоначальникомъ, да до чину еще много лѣтъ служить, не пошлютъ. Думаетъ про себя Гаврила Семенычъ: дѣло я понимаю; въ судѣ когда служилъ, научился кое-чему, да и законовѣдѣнію въ училищѣ учился, а стань проситься, безъ денегъ не опредѣлятъ. Женился бы на богатой—такъ не пойдетъ... И отчего это я и робокъ, и бѣденъ, говорить боюсь, а на бѣдной жениться — прійдется по міру ходить. Эхъ жизнь наша канцелярская! только и можно столоначальникамъ жить. Просился столоначальникомъ въ одинъ уѣздный городъ, гдѣ вакансія открылась, да опредѣлили другого.

Думаетъ опять Гаврила Семенычъ: «Вотъ, тотъ далъ секретарю 15 рублей, и послали его. Хоть бы 10 рублей гдѣ-нибудь достать. Хоть бы найти на дорогѣ. Сунулъ бы я имъ въ глотку, а то живи здѣсь ни рыба ни мясо»...

У него былъ столоначальникъ Иванъ Ивановичъ, человѣкъ не молодой, семейный. Въ правленіи онъ служитъ уже 15 лѣтъ, должность столоначальника занимаетъ 8 лѣтъ, а другой должности не даютъ, потому-что губернаторъ не любитъ стариковъ, взяточниками считаетъ. Иванъ Ивановичъ ни съ кого не просилъ, а «кто дастъ — спасибо, не дастъ— не за что», какъ онъ говаривалъ товарищамъ, да ему и не нужно было. У него былъ домъ отцовскій. Въ одной половинѣ самъ жилъ, а другую внаймы за 8 рублей въ мѣсяцъ отдавалъ. На службу не ропталъ, и въ уѣздъ самъ не ѣхалъ. Всѣ служащіе его любили за простоту, за шутки и за то, что училъ новичковъ дѣлопроизводству и канцелярскимъ порядкамъ.

У него была дочь Надя, обучавшаяся въ дѣтскомъ пріютѣ. Хорошая была дѣвушка. Въ нее-то и влюбился, чудакъ, Гаврила Семенычъ. Когда Иванъ Ивановичъ не приходилъ на службу по болѣзни, Гаврила Семенычъ ходилъ къ нему съ бумагами отъ секретаря, и видѣлъ Надю. Ночи не спалъ Гаврила Семенычъ, все думалъ; какъ бы жениться на ней. «Положимъ,—думалъ онъ:—Иванъ Ивановичъ человѣкъ добрый, а вѣдь за меня не отдастъ».

Думалъ, думалъ и написалъ Надѣ чистымъ красивымъ канцелярскимъ почеркомъ, что онъ ее любитъ, что онъ умретъ безъ нея, и если она его любитъ, то пускай прійдетъ вечеромъ на бульваръ.

Разъ утромъ онъ пошелъ къ Ивану Ивановичу. Двери съ улицы были заперты. Онъ постучалъ. Дверь отворила Надя. Задрожалъ Гаврила Семенычъ всѣмъ тѣломъ и едва проговорилъ: Надежда Ивановна...

— Что-съ?—спросила та и сконфузилась...

Онъ подалъ ей письмо. «Прочитайте, пожалуйста».

Послѣ этого онъ въ правленіи ни одной буквы безъ прочистокъ не написалъ, дома щи кислыми показались. Весь вечеръ пробылъ на бульварѣ.

Часу въ десятомъ пришла Надя. Подошла къ нему.

— Я прочитала и благодарю васъ.

*) Названіе части города.

— Я давно васъ люблю,—сказалъ Гаврила Семенычъ робко.

— Вѣрю. Только я не могу за васъ замужъ выйти.

— Я все получу, Богъ дастъ,—говорилъ, чуть не плача, Гаврила Семенычъ.

— Папенька не отдастъ.

Молчитъ Гаврила Семенычъ, молчитъ и Надя. Надоѣло ей.

— Мнѣ идти пора. Я вамъ напишу лучше или сама объясню въ другое время.—И ушла.

Запечалился Гаврила Семенычъ, больше потому, что сюртучишко форменный у него худой, фуражка худая. Занялъ у старушки знакомой 10 рублей подъ росписку, написалъ въ ней, что деньги отдастъ черезъ два мѣсяца. Купилъ себѣ сюртукъ и пальто на толкучкѣ. Сталъ ходить каждый день на бульваръ. Завидно ему, какъ это мужчина идетъ подъ руку съ дѣвушкой?... Смотрѣлъ, смотрѣлъ по сторонамъ, да и наткнулся на Надю. Идетъ она съ Никитинымъ, помощникомъ столоначальника правленія. Зналъ Гаврила Семенычъ, что Никитинъ нехорошій человѣкъ, хоть и молодъ, и красивъ, а картежникъ и пьяница, и долговъ у него много. Поклонился Надѣ, она едва ему головой кивнула и, слова не сказавъ, ушла съ Никитинымъ.

Въ правленіи узналъ онъ, что Никитинъ — женихъ Нади, и не сталъ съ тѣхъ поръ ходить на бульваръ, а Нади жаль было!

Прошло два мѣсяца, старуха деньги проситъ. У Гаврилы Семеныча всего 1 руб. 20 коп. было. Пришла старуха въ третій разъ, — все нѣтъ денегъ у Гаврилы Семеныча.

— Если ты, разбойникъ, подлая твоя харя, завтра не представишь мнѣ деньги — къ губернатору пойду.

Никто не далъ Гаврилѣ Семенычу денегъ. Стали вычитать у него деньги изъ жалованья. Сталъ онъ одно молоко съ ржанымъ хлѣбомъ ѣсть.

— Поѣду въ уѣздъ,—сказалъ однажды Гаврила Семенычъ самому себѣ:—наплюю на здѣшнюю жизнь. Сестру съ собой увезу. Денегъ достану. Лотерею сдѣлаю.

Онъ бывалъ въ лотереяхъ, и зналъ, что деньги хоть и не всѣ собираются, да все можно пріобрѣсть хоть немного.

III.

Пошелъ Гаврила Семенычъ къ женщинѣ, у которой жила его сестра. Не засталъ ея дома. Она у частнаго пристава была. Частный приставъ приглашалъ ее ужъ третій мѣсяцъ. Подумалъ Гаврила Семенычъ: «не попросить ли сестру, чтобы черезъ нее приставъ выхлопоталъ ему должность квартальнаго»; да и раздумалъ, неловко показалось. Жаль ему было сестры; да самому ее содержать нечѣмъ, а теперь и одежда была готовая у нея.

Въ правленіи онъ написалъ на листѣ: «Дружественная лотерея. Разыгрываются слѣдующія вещи: самоваръ—цѣна 7 р. сер., серебряные часы съ таковою же цѣпочкой—цѣна 20 руб. сер., два кольца серебряныя позолоченые, каждое по 5 руб. сер., всего на 37 руб. сер. Цѣна билету 50 к. сер.» Всѣхъ билетовъ онъ сдѣлалъ 74.

Съ этимъ листомъ онъ пошелъ къ служащимъ управленія.

Иванъ Ивановичъ подписалъ три билета и деньги отдалъ:

— Э, братъ, сколько у тебя билетовъ-то, а вещи дрянь,—говорилъ служащій, расчеркиваясь въ графѣ.

— А деньги когда?—спрашивалъ Гаврила Семенычъ.

— Не заботься, не въ первый разъ подписываю. Вотъ жалованье получу, и отдамъ.—Такъ говорили человѣкъ тридцать.

— Нѣтъ, я не подпишу. Ужъ сколько подписывался, а толку нѣтъ,—говорилъ тотъ, кто не подписалъ фамиліи.

— Да подпишите, можетъ, выиграете!

— Эка штука. У него 71 пустой билетъ, а онъ говоритъ, что я выиграю!

— Я ужъ послѣ подпишу, — говорили нѣкоторые.

Въ недѣлю у него подписалось 36 человѣкъ; всѣхъ билетовъ было взято 49, а денегъ онъ получилъ только 5 руб. сер.

IV.

Когда ему некого уже было просить подписываться на лотерею, онъ пошелъ къ сестрѣ, но содержательница ему сказала, что сестра его въ полиціи другія сутки сидитъ. Пошелъ Гаврила Семенычъ въ полицію, увидалъ ее въ каталамкѣ въ слезахъ, и платье у нея изорвано во многихъ мѣстахъ, на головѣ и платка нѣтъ.

— Что это съ тобою, сестра?

— Охъ, братъ, и не говори... Выстегали меня сегодня.—Заплакала сестра... Ее ужъ въ другой разъ драли...

— Да за что?

— Говорятъ, я купца обокрала. Врутъ они! хозяйка его обокрала, а на меня сваливаютъ...

Черезъ два дня выпустили сестру Гаврилы Семеныча; пошла она къ содержательницѣ, та не пустила ея къ себѣ, вышвырнула ей въ дверь узелокъ ея, а въ узелкѣ были рубашка, худые башмаки, два чулка и старый платокъ.

Пришла Серафима Семеновна къ брату въ томъ, въ чемъ онъ ее въ полиціи видѣлъ, только узелокъ принесла.

Хозяйка не только не позволила ей жить съ братомъ, но запретила даже и близко дома ея ходить, разругала и Гаврилу Семеныча. Переѣхалъ Гаврила Семенычъ на другую квартиру къ мѣщанину; тотъ съ обоихъ за комнату, съ своими дровами, 3 рубля взялъ.

— Ты, сестра, ужъ никуда не ходи. Брось ты это проклятое ремесло, голубушка! Ты съ меня примѣръ бери... Отчего я всегда дома сижу?

— Ну чѣмъ же я жить-то стану?

— Проживемъ какъ-нибудь. Мой полы, бѣлье стирай, шей что-нибудь, только не срами себя.

Трудно было сестрѣ привыкать къ жизни съ

братомъ. Все собиралась уйти куда-нибудь, да братъ не пускалъ. Нечего дѣлать, стала она шить халаты въ гостиный дворъ, хозяинъ ей носилъ работу. Въ недѣлю зарабатывала рубля полтора: хоть немного, да все-таки братъ былъ радъ, что сестра съ нимъ живетъ и работаетъ.

Подошла зима. У Серафимы Семеновны и теплой одежды нѣтъ. Когда братъ былъ дома, она ходила въ его тулупѣ. Потомъ она накопила рублей шесть, да братъ далъ ей пять рублей, что собралъ съ лотереи; купила она себѣ на толкучкѣ худой салопчикъ да вязаныя ботинки.

V.

Четыре мѣсяца прошло, какъ подписались служащіе на лотерею. Три раза, иные разъ шесть получали жалованье, а денегъ Гаврилѣ Семенычу никто не даетъ, а чиновники, которые заплатили деньги, покоя не даютъ ему.

— Скоро ли у тебя лотерея?

— Еще денегъ не собралъ.

— Такъ вѣрно и не дождешься у тебя лотереи. Ужъ если не въ состояніи сдѣлать, такъ отдай назадъ деньги.

А тутъ, какъ на бѣду, онъ полюбилъ сосѣдку, дѣвушку Софью Егоровну. Жила она съ отцомъ, отставнымъ чиновникомъ, противъ того дома, гдѣ онъ жилъ. Часто онъ встрѣчался съ ней: только идетъ домой со службы, и она идетъ тоже домой съ рынка. Понравилась она ему, и Наденьку забылъ. Однажды онъ пошелъ ко всенощной въ семинарскую церковь, и она какъ разъ вышла изъ воротъ. Не утерпѣлъ Гаврила Семенычъ, попросилъ проводить ее, и она позволила ему. Во всю дорогу они говорили о житьѣ-бытьѣ другъ друга. Онъ узналъ, что она шьетъ рубашки, а отецъ получаетъ пенсію; что они люди бѣдные. Отъ всенощной онъ опять ее проводилъ до воротъ, и просилъ зайти завтра къ нему, подъ предлогомъ, будто она прійдетъ къ сестрѣ чего-нибудь просить. Пришла она къ хозяину, и проситъ скоромнаго масла; тотъ сказалъ: нѣтъ; она и пошла къ сестрѣ Гаврилы Семеныча, познакомилась съ ней, и къ себѣ звала, а отцу велѣла сказать, что мы-де маленькія вмѣстѣ въ куклы на улицѣ играли... Стали ходить сестра къ Софьѣ Егоровнѣ и Софья Егоровна къ сестрѣ Гаврилы Семеныча, и когда приходила она, Гаврила Семенычъ дарилъ ее то мелкими орѣхами, то пряниками, то конфектами... Однажды платочекъ подарилъ, а поцѣловать не посмѣлъ. Съ отцомъ онъ познакомился на свадьбѣ у одного чиновника, гдѣ была и Софья Егоровна. Подлѣлался Гаврила Семенычъ къ старику, пригласилъ его къ себѣ, въ воскресенье, чаю напиться; обѣщался старикъ. Однажды, въ воскресенье, настигъ старика съ Софьей Егоровной, вышедшихъ изъ церкви; старикъ пригласилъ его къ себѣ. У него онъ напился чаю и отобѣдалъ, а вечеромъ старикъ къ Гаврилѣ Семенычу пришелъ, чаю напился, въ шашки поигралъ. Дошло до того, Павловы бывали у старика раза по три въ недѣлю, и старикъ приходилъ запросто. Павловы со старикомъ и дочерью его играли въ короли, въ преферансъ и въ свои козыри; и Софья Егоровна брала шить халаты, и такъ подружилась съ Серафимой Семеновной, что сидѣла у нея, когда Гаврила Семенычъ былъ на службѣ. Надоѣло Гаврилѣ Семенычу то, что «онъ ровно не женихъ, не мужъ»; спросилъ онъ Софью Егоровну: пойдетъ она за него замужъ или нѣтъ, и когда она сказала, что «пойдетъ», онъ сталъ просить отца ея отдать ее замужъ за него. Заартачился было отецъ: «ты и молодъ, и чина нѣтъ, и должности не занимаешь, и бѣденъ-то»... да благословилъ Софью.

Задумали свадьбу сыграть скорѣе. Старикъ сказалъ Гаврилѣ Семенычу, чтобы онъ ей подвѣнечное платье сшилъ. Занялъ Гаврила Семенычъ у сапожника 20 руб. Купилъ бѣлой кисеи, стала Софья съ Серафимой шить платье. Все бы хорошо, да проклятый портной пришелъ съ роспиской въ 25 руб., самого губернатора просилъ. Обѣщали вычитать изъ жалованья. А тутъ чиновники пристали: «да будетъ ли лотерея?»

— Будетъ. Повремените дня три, сказалъ всѣмъ; когда будутъ разыгрываться вещи, просилъ отдать деньги; одни велѣли отдать казначею въ счетъ жалованья, а другіе разругали Гаврилу Семеныча, что онъ проситъ, и велѣли вычеркнуть свои фамиліи. У Гаврилы Семеновича были знакомые чиновники другихъ вѣдомствъ. Они подписали 8 билетовъ и деньги заплатили. Отъ казначея Гаврила Семенычъ получилъ только 12 рублей.

VI.

Черезъ три дня послѣ полученія денегъ отъ казначея за лотерею, въ субботу назначенъ былъ розыгрышъ вещей. Въ пятницу Гаврила Семенычъ купилъ ведро водки, 2 фунта копченой колбасы, фунтъ икры, сестра 10 фунтовъ телятины на жаркое.

Въ субботу во второмъ часу 11 человѣкъ отправились изъ правленія къ Гаврилѣ Семенычу. Въ числѣ ихъ были Иванъ Ивановичъ и еще два столоначальника, четыре помощника столоначальниковъ, въ томъ числѣ 3 изъ семинаристовъ, 2 изъ гимназіи, 5 изъ канцелярскаго училища.

Гостей встрѣтили двое чиновниковъ какихъ-то палатъ. Одинъ былъ братъ хозяину дома и слылъ у товарищей за доку, а другой съ лысиной на головѣ.

— Э, э!.. братъ, въ какой ты мурьѣ живешь! сказалъ Гаврилѣ Семенычу Иванъ Иванычъ.

— А, дока, дока! Ну, сказывай, московскія вѣдомости, что новаго?—встрѣчали нѣкоторые доку.

— А, Серафимушка!.. Ты, Павловъ, береги ее отъ лысаго—онъ бѣдовый.

— Господа, у насъ есть точно такой же лысый съ огромнымъ носомъ, съ большими глазами. Какъ станетъ писать, и уткнетъ свой носъ на бумагу; когда сердится, свой носъ чиститъ платкомъ, и рѣсницы синѣютъ. Онъ бѣда не любитъ, какъ ему невѣстъ нахваливаютъ,—говорилъ одинъ изъ семинаристовъ.

— То-то ты и говоришь про лысаго такъ красно.

А помнишь, какъ онъ тебя стуломъ хватилъ?—говорилъ лысый.

Нѣкоторые стали заигрывать съ Серафимой; она ушла въ кухню.

— Я, говоритъ дока, смирный человѣкъ, а туда же заигрываетъ,—говорилъ лысый.

— На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ,—сказалъ дока. Всѣ захохотали: браво, бисъ!

— А кто, господа, умнѣе васъ? Ну-ка отгадайте?—спросилъ дока.

— Конечно, дока. Не даромъ онъ и титулярный.

— То-то и есть. Вотъ и расчачкали *) дѣло-то. Ужъ я изъ плутовъ плутъ вышелъ, не оплетѣши. Одного казначея подъ судъ упряталъ,—захвалился дока.

— Не даромъ изъ кайловниковъ дока!—замѣтилъ кто-то. Лысый начиналъ смѣяться то надъ тѣмъ, то надъ другимъ чиновникомъ, кого-нибудь передразнивалъ; дока что-то вралъ. Гости раздѣлились на двѣ половины и, слушая то лысаго, то доку, хохотали.

Гаврила Семенычъ принесъ въ двухъ штофахъ водки и три тарелки закуски. Гости стали пить и закусывать.

Въ обществахъ чиновниковъ, на службѣ и въ гостяхъ всегда бываютъ такія личности, которыя своими словами и убѣжденіями привлекаютъ къ себѣ товарищей. Такъ и здѣсь ихъ было двое: лысый и дока. Лысый былъ человѣкъ образованный, гуманный и прогрессистъ. Онъ ненавидѣлъ зло и ругалъ въ глаза всякаго плута. За это хотя его и ругали, но если онъ начнетъ что-либо говорить, то вокругъ него образуется кружокъ слушателей человѣкъ изъ десяти и болѣе. Дока, хотя былъ глупъ, но умѣлъ шутить и врать, и около него собирались товарищи, чтобы посмѣяться.

Начали дѣлать билетики. Всего разобрано было 55 нумеровъ. Сдѣлали 55 билетовъ съ нумерами, потомъ 4 съ названіями вещей и 51 пустыхъ.

Лысый сѣлъ отмѣчать въ лотерейномъ листѣ фамиліи подписавшихся, а дока взялъ шапку и положилъ въ нее нумерные билеты. Другой чиновникъ держалъ шапку съ пустыми билетами и названіями вещей.

— Ну, если дока схитритъ, бѣда ему!—говорили чиновники.

— Мы расчачкаемъ дѣло. Пусть квакушка вынимаетъ мои билеты,—сказалъ дока.

— Ну-ка, квакушка,—сказалъ лысый.

Квакушка, старый чиновникъ, выпившій уже три рюмки, подошелъ вынимать билеты изъ шапки доки и сказалъ:

— А что, господа, уговоръ лучше денегъ. Съ каждаго выигрыша по бутылкѣ рома.

Чиновники захохотали.

— Пей, чортъ, водку! Ишь ты!. Ты знаешь ли, что за ромъ такой?

— Натъ-ко-сь! Получше твоего знаемъ.

— Да вынимай, чортъ!

— Рюмку дадите! За что я стану трудиться!

— Пей, дьяволъ, вынимай только!

*) То-есть объяснили, поняли.

Выпилъ квакушка; вытащилъ изъ шапки билетъ Всѣ затихли; ждали: чей-то нумеръ, и будетъ ли выигрышъ. Квакушка помуслилъ руки, развернулъ свернутый въ трубку билетъ. «41-й нумеръ».

— Мой! ну-ка!—сказалъ одинъ чиновникъ.

— Шишъ, братъ, тебѣ! — сказалъ дока. Всѣ захохотали.

Одинъ чиновникъ вынулъ изъ шапки билетъ. Билетъ былъ пустой.

— Козьи ноги!

— Браво. Поздравляю. Ну, покупай водки,—кричали тому, у кого былъ пустой билетъ.

Вынулъ Квакушка нумерной билетъ: 27.

— Кто?

— Ивановъ.

— Ахъ, чортъ! А вѣдь онъ выиграетъ.

— Ну-ка, ну-ка! Степановъ, вынимай изъ той шапки.

— Пусто!

— Пиши ему свинью на билетѣ! Дай сюда билетъ!—кричали чиновники.

Съ часъ продолжалось вынимaніе билетовъ изъ двухъ шапокъ. Чиновники дѣлали разныя замѣчанія, кричали и хохотали. Изъ бывшихъ у Гаврилы Семеныча гостей выиграли: самоваръ дока, а часы лысый.

— Ишь, чортъ! Везетъ ему!—замѣтили чиновники.

— Дуракамъ счастье, — говорили нѣкоторые служащіе втихомолку.

— Экое счастье, подумаешь, человѣку: какъ онъ ни подпишетъ, такъ и выиграетъ!

— Вотъ я, кажется, пятьдесятъ разъ подписывался и ни разу не выигралъ. Ни за что не стану больше подписываться.

— А ты сколько разъ платилъ деньги?

— Я-то?

— Ну, конечно, ты-то?—приставалъ лысый.

— Разъ восемь платилъ.

— Ахъ, ты скотъ, каналья эдакая!—кричали чиновники.

— Да стоитъ ли и платить, когда не выигрываешь никогда.

— Ты заплатилъ Павлову деньги?

— Послѣ отдамъ.

— Сейчасъ отдашь! Подай деньги!—кричали со всѣхъ сторонъ.

— Хочешь розогъ?—кричалъ Иванъ Ивановичъ:—Отдуемъ, какъ Ломтева отодрали.

Далъ чиновникъ Гаврилѣ Семенычу росписку, что завтра же отдастъ.

Послѣ розыгрыша всѣ стали пить водку и спорить. Когда напились, стали пѣть; кто пѣлъ «Среди долины ровныя» или «Лучинушку», кто «Пчелка златая, что ты жужжишь», что кому вздумается. Изъ чиновниковъ образовывались хоры, пѣли и хорошо, и худо, и такъ безобразно, что хозяинъ нѣсколько разъ приходилъ къ Гаврилѣ Семенычу и говорилъ, чтобы онъ вытурилъ гостей, да гости и хозяина затащили въ комнату, и его напоили, и онъ запѣлъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ».

Кромѣ пѣнія чиновники спорили, кричали и ругались. Начинали цѣловать, по старому знакомству, Серафиму, но она ушла къ Софьѣ Егоровнѣ.

Иванъ Иванычъ съ Никитинымъ, докой и лысымъ стали собираться домой. Иванъ Ивановичъ поблагодарилъ «за угощеніе» Гаврилу Семеныча. Гаврила Семенычъ сталъ говорить Ивану Ивановичу.

— Позвольте васъ побезпокоить. Вы у насъ отецъ и благодѣтель...

— Ну, говори! Да ты не стѣсняйся: я всѣмъ другъ и товарищъ.

— Ганька, ей Ганька! выпей водки!—говорили товарищи Гаврилѣ Семенычу, и одинъ изъ нихъ принесъ ему рюмку водки.

— Да я не могу пить! Право, господа, не могу.

— Врешь, мошенникъ!

— Я съ третьей всегда пьянъ бываю.

— Церемонится, анаѳема!

— Право не могу, вотъ вамъ Богъ.

— На голову ему! Лей, чего смотрѣть!

Выпилъ Гаврила Семенычъ. Посмотрѣли на него товарищи, какъ онъ выпилъ.

— Морщится, каналья! Ну, говори! жениться хочешь?

— Позвольте, Иванъ Иванычъ, попросить васъ отцомъ на свадьбу...

Товарищи захохотали.

— Покажи намъ невѣсту!

— Нельзя ли черезъ васъ получить мѣсто въ уѣздѣ?

— Что взятки захотѣлось брать?—спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Нѣтъ, я не буду.

— То-то, смотри братъ. Взятки будешь брать, подлецъ будешь, подъ судъ попадешь. Ладно, попрошу. Только смотри, не бери взятокъ.

Захотѣли остальные чиновники играть въ карты. Съѣздилъ Гаврила Семенычъ съ извозчикомъ за картами, купилъ двѣ колоды. Четверо усѣлись въ преферансъ, а двое спали на стульяхъ.

VII.

Ушелъ Гаврила Семенычъ къ своей невѣстѣ, поздравилъ ее съ тѣмъ, что онъ скоро женится, и мѣсто получитъ; поцѣловалъ ее.

— Ты, Гаврила Семенычъ, на меня не надѣйся,—говорилъ отецъ Софьи.—Главное, мошенникомъ не будь. Ты съ меня бери примѣръ. 35 лѣтъ я прослужилъ въ казенной палатѣ, а денегъ не нажилъ; пенсіонишка получаю 7 руб... Должностей хорошихъ я не занималъ оттого, что льстить никому не умѣлъ. Живи и въ бѣдности, только не плутуй. Вотъ у меня, смотри, сколько имѣнія: постель, двѣ подушки, столъ, три стула, самоваръ съ чайникомъ; ну, посуда есть, ложки оловянныя, сундучишко маленькій, а что въ немъ есть: гривенъ пять денегъ, а имѣнье—одежа наша хоть на веретено стряси. Больше всего мою голубушку побереги. Она у меня честная, золотце мое...— Заплакалъ старикъ, заплакали и женихъ съ невѣстой.

Долго бы просидѣлъ Гаврила Семенычъ у невѣсты, и про гостей забылъ совсѣмъ, какъ вдругъ услышалъ на улицѣ крикъ. Всѣ выбѣжали за ворота, смотрятъ: около воротъ, гдѣ живетъ Гаврила Семенычъ, чиновники дерутся съ обходными солдатами. Струсилъ Гаврила Семенычъ, пошелъ упрашивать солдатъ; поколотили его солдаты, а чиновники въ снѣгъ толкнули. «Не суйся, коли тебя не бьютъ!»—говорили они ему. Солдаты хотѣли-было чиновниковъ въ часть увести, да тѣ всю полѣнницу во дворѣ разворочали, до половины дровъ перебросали черезъ заплотъ на улицу. Ушли солдаты. Чиновники пошли въ комнату.

— Ахъ какіе скоты, скажите!

— Скажите, пожалуйста!

— Да ихнее ли дѣло!

— Да мы имъ руки и ноги оторвемъ,—говорили запыхавшись чиновники. Въ комнатѣ столъ и стулья валялись опрокинутыми на полу безъ одной или двухъ ножекъ. У двухъ чиновниковъ, пришедшихъ съ улицы, не было по одной фалдѣ на сюртукѣ; у прочихъ то сюртуки изодраны, то щеки подбиты. Въ одномъ углу Серафима суетилась около одного чиновника, сидѣвшаго на полу съ разбитымъ носомъ.

— Что, скотина, мошенничать! Я тебѣ покажу, какъ мошенничать!—кричалъ на этого чиновника другой чиновникъ.

— Ну-ка попробуй?—говорилъ съ разбитымъ носомъ. Гаврила Семенычъ узналъ отъ сестры, что двое разругались изъ-за картъ; за нихъ вступились прочіе, началась драка; потомъ пришли обходные солдаты.

Чиновники запросили у Гаврилы Семеныча водки, и когда онъ ея не далъ имъ, они, выругавъ его подлецомъ, скотомъ и всевозможными ругательствами, стали собираться домой. Вошелъ частный приставъ съ четырьмя казаками.

— Господа, что у васъ за шумъ?

— Не ваше дѣло, господинъ частный приставъ! Извольте вонъ убираться!

— Я имѣю право васъ арестовать.

— Арестовать! Меня арестовать? Столоначальника губернскаго правленія! Дудки! Да я всю вашу полицію въ бараній рогъ сожму!—говорилъ одинъ столоначальникъ.

Трусъ былъ частный приставъ; поворчался, погрозилъ немного, сталъ уговаривать, ничто не помогло. Подумалъ: «чиновники свои, пожалуй, поддѣнутъ чѣмъ-нибудь»; плюнулъ на все, казаковъ назадъ отослалъ, а двухъ столоначальниковъ съ собою увезъ, да дома и пилъ съ ними всю ночь. Четверо чиновниковъ ушли домой, а двое остались ночевать у Гаврилы Семеныча.

На другой день у Гаврилы Семеныча осталось только 5 рублей отъ лотереи, а остальныхъ денегъ таки не отдали ему. Зато лотерея много помогла Гаврилѣ Семенычу: во-первыхъ, ему жалованья на два рубля прибавили; во-вторыхъ, черезъ мѣсяцъ онъ женился на Софьѣ Егоровнѣ, Иванъ Ивановичъ былъ посаженымъ отцомъ, и 15 руб. подарилъ ему; а въ-третьихъ, исполнилось

таки давнишнее желаніе Гаврилы Семеныча: черезъ Ивана же Иваныча его назначили столоначальникомъ въ земскій судъ въ одномъ изъ лучшихъ уѣздовъ губерніи.

Горнозаводскіе люди.

(Разсказы полѣсовщика).

I.

Люди.

Скажу я тебѣ, хорошій человѣкъ, про нашихъ горнозаводскихъ людей, что это за люди такіе. Вотъ, слушай-ка! До той поры, какъ нашего брата, Божіею милостью, не уволили всѣхъ совсѣмъ, мы были люди казенные, подначальные, самые такіе маленькіе, потому, значитъ, нашимъ братомъ всякій чинъ понукалъ, потому опять на роду было написано быть такъ: какъ ты родился отъ рабочаго или мастерового, такъ и умрешь рабочимъ или мастеровымъ... Да. Нашъ братъ смекалъ тоже, что крестьянинъ, или иной какой мужикъ бородастый, все же лучше насъ живетъ, потому, значитъ: заплатитъ онъ подать, да отведетъ кой-какія повинности—и шабашъ; вольный человѣкъ; на всѣ четыре стороны ступай, только билетъ выправь; дѣлай, что хочешь, а если капиталъ имѣешь, — въ купцы можно махнуть, а нашъ братъ—шалишь... Твердо—онъ-то да приперто!..

А почему это такъ? У насъ, на матушкѣ Руси, много разныхъ заводовъ и промысловъ казенныхъ и такихъ, которые принадлежатъ богатымъ людямъ. Вотъ къ этимъ-то заводамъ, рудникамъ да промысламъ и были давнымъ-давно, по указамъ государевымъ, на-вѣчно, причислены или подарены люди, земли и лѣса. Люди эти, какъ жили въ этихъ заводахъ такъ и стали казенными или господскими навсегда, и званія имъ разныя дали, а казенные были уравнены съ военными и бородъ не носили. Всѣхъ ихъ надѣлили покосами и домами.

Вотъ эти-то казенные люди, земли да заводы и стали управляться разными чинами, должностными людьми, да присутственными мѣстами, которыя и назывались горнымъ вѣдомствомъ. Въ маленькихъ заводахъ заведены конторы заводскія и полиція, которыя управляли людьми, заводомъ, рудниками и землями, которые находились около завода. Надъ всѣмъ этимъ былъ управитель—горный инженеръ. Въ большихъ заводахъ были главныя конторы, которыя завѣдывали нѣсколькими заводскими конторами, заводами, рудниками или цѣлымъ округомъ, которымъ управлялъ горный начальникъ — тоже горный инженеръ, подполковникъ или полковникъ (или, какъ прежде было, оберъ-бергауптманъ или бергауптманъ). Всѣми этими горными начальниками, людьми, заводами и начальниками управляло уральское горное правленіе, которое было сперва въ Перми, а теперь въ Екатеринбургѣ, и городъ этотъ названъ горнымъ, потому, значитъ, въ немъ главное управленіе уральскимъ горнымъ вѣдомствомъ, и живетъ главный начальникъ, который еще выше горнаго правленія и глава надъ всѣмъ, а выше главнаго начальника есть еще министръ финансовъ. Еще есть горныя правленія въ Сибири и въ другихъ мѣстахъ, да тамъ меньше заводовъ и людей, чѣмъ у насъ. Наше горное правленіе не одними казенными правитъ, но и частными заводами и промыслами, которыхъ много въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ и еще болѣе въ Пермской губерніи, и начальствуетъ чуть не надъ всѣмъ уральскимъ хребтомъ въ Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерніяхъ, гдѣ есть заводы, земли и люди казенные и частные.

Въ казенныхъ заводахъ, селеніяхъ, рудникахъ и въ городѣ Екатеринбургѣ жили горнозаводскіе люди. Люди эти были вотъ какіе чины: горные инженеры и другіе чиновники, нижніе и рабочіе и сословіе рабочихъ. Всѣ они слушались своихъ командировъ, знали свои мѣста, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться изъ своего мѣста безъ воли начальства, и не могли выйти въ другое состояніе (если родился въ горномъ званіи). Всѣмъ имъ была служба 35 лѣтъ.

Кромѣ инженеровъ, вотъ какія были названія: нижніе чины назывались урядниками, унтеръ-шахтмейстерами, межевщиками, чертежниками, фельдшерами и аптекарскими учениками; нижніе рабочіе чины назывались: уставщиками или кондукторами, мастерами и писарями; прочіе назывались сословіемъ рабочихъ людей, и были: мастеровыми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. Были у насъ еще баталіоны и лѣсная стража. Баталіоны съ перваго начала набрались изъ солдатъ, а потомъ составляли его дѣти ихъ, записанные къ горному вѣдомству. Люди изъ баталіоновъ стерегли казенныя мѣста; сторожа, разсыльные и казаки—все изъ баталіоновъ и всѣ носятъ горную форму, и имѣютъ командира главнаго начальника. Наши лѣса стерегли наши же люди. Лѣса раздѣлялись на округи, или лѣсничества, объѣзды или дистанціи и обходы. Они управлялись лѣсничими и ихъ помощниками, а сторожа назывались объѣздчиками, стрѣлками, полѣсовщиками и сторожами. Всѣ эти люди получали жалованье, провіантъ, имѣли дома, которые строили на казенный счетъ, и покосы. Нижніе рабочіе чины командовали надъ рабочими людьми, мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь ремесло, и занимались работою дома, а въ казну нанимали работника. Урочные работники не имѣли ремеслъ и работали на заводахъ, фабрикахъ, въ рудникахъ и исправляли всѣ работы въ казну. Эти урочно-рабочіе дѣлились на конныхъ и пѣшихъ. Коннымъ давались отъ казны двѣ лошади, и они работали на казну двѣсти дней въ году; пѣшіе сто двадцать пять дней, и кромѣ того, лѣтомъ съ перваго мая по первое ноября, половину мѣсяца работали на себя, потому, значитъ, давалось время за уходомъ покосовъ. Конные и пѣшіе дѣлились на десятки и сотни, коими управляли десятники и сотники, а всѣми старшины. Каждый десятокъ, сотня отвѣчали за свой участокъ, или десятокъ и сотню, и

обязывались сдѣлать все, что имъ назначалось особо отъ другой сотни или десятка, и каждый работникъ отвѣчалъ самъ за себя, и слѣдилъ за другимъ работникомъ, для того, значитъ, чтобы работа въ участкѣ шла для всѣхъ поровну и кончалась въ срокъ.

Всѣ рабочіе, сверхъ жалованья, получали провіантъ и дрова. Холостые получали провіанта по два пуда въ мѣсяцъ, женатые четыре пуда; на сына полагается пудъ; на дочь до 18-ти лѣтняго возраста полпуда или гдѣ какъ назначено.

Конные, сверхъ всего этого, получали по шести коп., за рабочій день, на двѣ лошади, а если они ѣздили на работы менѣе пятнадцати верстъ, то получали еще по двѣ копейки въ сутки на пропитаніе, а если дальше пятнадцати верстъ отъ своего жительства—по три рубля въ мѣсяцъ, если только не работали куренныя работы, за кои платилось по особымъ положеніямъ.

Послѣ тридцати-пятилѣтней службы мастеровые и рабочіе получали пенсіонъ—половину годового жалованья или нѣсколько копеекъ въ мѣсяцъ, за сорокъ лѣтъ—двѣ трети, а кто не хотѣлъ пенсіи—получалъ единовременно трехгодовой окладъ жалованья. Жены, послѣ смерти, получали пенсіонъ отъ 6 руб. 87 коп. до 1 руб. 72 коп. въ годъ, а дѣти до 12-ти-лѣтняго возраста—по 10 коп. въ мѣсяцъ, съ 12-ти-лѣтняго—по 22 коп. Дочерямъ давался пенсіонъ до пятнадцатилѣтняго возраста.

Каждый мастеровой и урочно-рабочій былъ женатъ съ семнадцати лѣтъ, потому, значитъ, что безъ жены нельзя жить: мужъ уйдетъ на работу, а дома хоть шаромъ покати. Съ женою потому хорошо: она и накормитъ мужа, и хлѣба на дорогу напечетъ, и провіанта больше даютъ, и дѣтей она родитъ, кои тоже провіантъ получаютъ и помогаютъ отцамъ. Значитъ хорошо и весело, и безъ бабы жить нельзя. У женъ нашихъ были свои работы: онѣ управляли домами, смотрѣли за дѣтьми, садили лѣтомъ въ огородахъ разныя овощи, коровъ и овецъ держали, нитки пряли, работали на свое семейство. Значитъ, простыя были, такія же, какъ и мы грѣшные мужья. Мы были командирами надъ ними и всѣмъ своимъ имуществомъ; онѣ орудовали надъ дѣтьми и скотомъ.

Наши сыновья съ восьмилѣтняго до пятнадцатилѣтняго возраста назывались малолѣтками, и если не учились въ школахъ, то работали дома или съ отцами на казну, и получали провіанта по полтора пуда въ мѣсяцъ; съ пятнадцатилѣтняго до восемнадцатилѣтняго возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкія работы на заводахъ, за что и получали по два пуда провіанта въ мѣсяцъ, и кромѣ провіанта дѣти наши за работы получали отъ пятнадцати до двадцати двухъ коп. въ мѣсяцъ жалованья!..

Для нашихъ сыновей были устроены на заводахъ школы, куда они брались восьмилѣтніе, и за ученіе получали по пятнадцати коп. въ мѣсяцъ. По окончаніи ученія, они брались въ работы или ихъ переводили въ окружныя училища, кои были въ тѣхъ заводахъ, гдѣ главныя конторы, и гдѣ жилъ горный начальникъ. Тамъ они жили въ казенномъ домѣ, и учились четыре года.

Послѣ ученія въ этихъ училищахъ, ихъ опредѣляли въ конторы писцами или въ другія мѣста къ той части, чему они научились въ училищѣ. Хорошіе ученики поступали въ уральское училище, которое находилось въ Екатеринбургѣ, учили тамъ четыре года горныя науки и выходили съ званіемъ урядника на службу или въ управленіе, или въ заводы.

Для нездоровыхъ у насъ были подѣланы лазареты и богадѣльни. Тамъ были наши же фельдшера и лѣкарскіе ученики, только присылали лѣкаря или аптекаря не нашего вѣдомства.

Вотъ кто мы такіе были. Начальство тоже заботилось о нашемъ братѣ, только не выпускало насъ изъ нашего званія. Ужъ такъ вѣрно намъ на роду было написано. Ничего бы и это, да то скверно: много у насъ начальниковъ было; много отъ нихъ непорядковъ дѣлалось; больно они ужъ важничали и худо обращались съ нами. Ближайшее наше начальство были сотники и старшины. Они назначали намъ мѣста работъ, требовали сдѣлать какое-нибудь дѣло непремѣнно къ такому-то дню, и если кто-нибудь изъ насъ не слушался ихъ—они того драли и приказывали ему работать въ тѣ дни, когда онъ долженъ быть свободнымъ отъ работы. Бывало, нашъ братъ никакой вины за собой не знаетъ, а работаетъ весь годъ въ казну; нѣтъ ему спуска, а сталъ говорить—хуже: отдерутъ и провіанта лишатъ. Богатому еще можно было отлытать отъ работы, потому, значитъ, стоило только подарить старшину, а бѣдный и жаловаться не смѣлъ, потому, значитъ, жалобамъ высшее начальство не вѣрило. И бывало то: конные часто имѣли одну лошадь, и не получали на нее денегъ, когда ѣздили далеко, не получали жалованья, и конторы хитрили въ выдачѣ провіанта, такъ что, вмѣсто шести пудовъ, рабочій получалъ два пуда, а за остальными ходилъ круглый годъ, да иному и ходить некогда было, такъ и пропускались, потому, значитъ, боялись жаловаться, и работали черезъ силу. Досадно намъ больно было, что нами всякій чинъ понукаетъ; думали мы: «какъ же мы работаемъ исправно, а почто намъ за наши труды, не даютъ всего, что намъ требуется по закону?»

Зато съ своимъ братомъ, рабочимъ или мастеровымъ, мы жили дружно, душа въ душу; любили выпить компаніей, и всѣ ругали своихъ командировъ. Тогда никто не попадай намъ подъ руку—поколотимъ, какъ шельму, и если что набѣдокуримъ, ни за что не выдадимъ другъ друга. И жены наши между собою жили дружно, а если ссорились, то скоро мирились. Всѣ мы не любили тѣхъ, кто изъ нашего брата важничалъ. Съ такимъ мы даже не говорили.

Въ частныхъ заводахъ такіе же были заведены порядки, какъ и на казенныхъ: люди получали жалованіе, провіантъ, имѣли дома и покосы, и такая же была у нихъ служба, только рабочіе назывались непремѣнными работниками, и ими командовали нарядчики, смотрители работъ и приказчики. На

малыхъ заводахъ тамъ были заводскія конторы, а въ большихъ главныя конторы, которыми управлялъ управляющій заводами какого-нибудь заводовладѣльца. Отъ каждаго владѣльца были одинъ или нѣсколько управляющихъ, напримѣръ, у Сергинскихъ было трое. Управляющіе опредѣлялись заводовладѣльцами, по довѣренностямъ, изъ генераловъ, чиновниковъ и заводскихъ людей (напримѣръ, были въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ тамошніе заводскіе люди), такіе, кои знали горную часть. Вотъ эти управляющіе управляли всѣми людьми, землями, рудниками и заводами хозяина, распоряжались работами, и были главнымъ лицомъ, потому, значитъ, многіе хозяева не жили въ своихъ заводахъ. За это они получали сверхъ квартиры, до 20 тысячъ руб. въ годъ жалованья, ну—и въ карманъ клали, отчего иные заводовладѣльцы разорялись. Заводовладѣльцы эти получали отъ управляющихъ отчеты такіе огромные, что имъ не хотѣлось ихъ провѣрить самимъ, да они въ нихъ и не понимали мудростей управляющихъ, и вѣрили своимъ управляющимъ, людямъ богатымъ, и кои были дружны со всѣми властями въ нашемъ городѣ. Управляющіе по довѣренностямъ предоставляли части управленія заводомъ, людьми и рудниками приказчикамъ, которые тоже довѣряли своимъ помощникамъ части управленія—нарядчикамъ и смотрителямъ работъ. Не всѣ управляющіе входили въ нужды жителей, а предоставляли надзоръ за ними и работами приказчикамъ, которые дѣлали все, что хотѣли, и дѣлили свои барыши съ управляющимъ. Съ людьми они обращались строже казенныхъ начальниковъ, били праваго, драли и не выпускали изъ рудниковъ. Больно трудна была работа въ рудникахъ. Тамъ иные по недѣлѣ изъ шахты не выходили и ползали тамъ въ землѣ съ гачками съ рудой на разстояніи саженъ десяти и пятнадцати отъ поверхности... Тамъ, за малую провинку, стегали работника и заставляли работать не взачетъ изъ выгодъ управляющаго. Особенно трудно было на сысертскихъ заводахъ, незадолго до манифеста о волѣ. Тамъ управляющій давалъ приказанія приказчикамъ достать, къ такому-то числу, столько-то руды, и выгнать на такой-то рудникъ столько-то людей, и если рабочіе не могли достать, работы усиливались, и ихъ драли. Приказчики, нарядчики и смотрители были мучителями рабочихъ, и рабочимъ жаловаться было некому. Управляющіе къ себѣ рабочихъ не допускали, приказчики драли, а хотя и были тамъ исправники, кои опредѣлялись горнымъ правленіемъ, но они не разбирали жалобъ рабочихъ на приказчика и управляющаго. Жаловались немногіе горному правленію и главному начальнику, но такихъ отсылали обратно въ заводы съ приказаніемъ наказать *). Пятнадцатилѣтнія дѣти тамъ работали наравнѣ съ отцами въ рудникахъ, и ихъ били и драли за лѣнь.

Тяжелыя были времена, и ты, милый человѣкъ, поди, не вѣришь этому. Было, братецъ мой, много мукъ было... а пристать за народъ некому.

Были тамъ еще повѣренные чиновники и заводскіе люди. Они жили въ нашемъ горномъ городѣ, и ходатайствовали по дѣламъ въ судѣ въ пользу управляющихъ и богатыхъ людей. Они обирали управляющаго и своихъ довѣрителей и дѣлали въ судѣ, что хотѣли. Если они хлопотали за бѣдныхъ, кои давали имъ послѣднія свои деньги, то они все-таки держали сторону богатаго и заводскихъ властей. Черезъ нихъ-то правому и не было въ судѣ защиты, и правый дѣлался виноватымъ, или лишался своего имущества, а виноватый дѣлался правымъ...

Однако не во всѣхъ заводахъ частныхъ было такъ. Вотъ у Яковлевскихъ да Демидовскихъ хорошее было житье людямъ, оттого, значитъ, тамъ хорошіе были управляющіе, кои сами присматривали за работами и не обижали людей. Всѣ не жаловались на свою жизнь и въ Нижне-Тагильскомъ и Верхъ-Исетскомъ, много было богачей, и заводы эти богатые. Демидовскіе и Яковлевскіе люди пріобрѣтали тайкомъ металлы, дѣлали изъ нихъ вещи и продавали въ то время, когда отправлялся караванъ весной по водѣ, или издѣлія свои они продавали на ярмаркахъ или въ городѣ. Зато тамъ большая половина жителей были единовѣрцы или раскольники.

Отъ непорядковъ въ другихъ заводахъ многіе воровали, убивали, дѣлали серебряныя и бумажныя деньги, за что ихъ ловили и ссылали въ Сибирь. Дѣланіемъ кредитныхъ билетовъ, воровствомъ и убійствомъ славились невьянскіе; съ другихъ заводовъ бѣгали и говорили, когда ловили ихъ, что они непомнящіе родства, или уходили въ лѣса къ раскольникамъ. Имъ лучше нравилось идти въ Сибирь, чѣмъ терпѣть въ заводѣ.

Ну, а теперь, слава тебѣ Господи, воля вышла. Шабашъ!.. Всякъ вольный сталъ: хочешь—работай, не хочешь—какъ хочешь, силой никто не заставитъ. Сначала какъ прочитали намъ манифестъ, мы и руки сложили, лежимъ себѣ дома; а какъ потребовали насъ на работу, мы и говорили: знать никого не хочемъ... Дождались мы и матушки воли и шабашъ!.. А когда намъ растолковали, что еще два года останется прежній трудъ, мы долго не могли понять: зачѣмъ еще два года? Коли манифестъ прочитали—и давай билетъ на всѣ четыре стороны? Мы еще до манифеста слышали, что насъ уволятъ, только не могли понять, какъ уволятъ? Что будетъ съ нашими домами и покосами?.. А многіе богатые да начальники наши печалились, что ихъ отъ команды отставятъ; ну, да имъ можно было, а мы-то какъ? Терпѣли, терпѣли, а потомъ и выдворятъ насъ изъ своихъ домовъ?.. Урядники тоже побаивались: имъ хорошо жилось, а какъ погонятъ ихъ метлой изъ службы, куда они дѣнутся? Нынче, братецъ ты мой, хорошій человѣкъ, писарей-то вонъ

*) Въ 1859 и 1860 годахъ по жалобамъ мастеровыхъ сысертскаго завода, по приказанію главнаго начальника, было произведено слѣдствіе чиновниками Фокомъ и Алтуховымъ. По этому слѣдствію обнаружено много злоупотребленій со стороны управляющаго К. и его довѣренныхъ лицъ. Управляющій К., вслѣдствіе его подсудности, былъ уволенъ, а приказчики успѣли, еще до производства слѣдствія и до поступленія дѣла въ уѣздный судъ, выйти на волю и записаться въ купцы. О дальнѣйшей судьбѣ этихъ лицъ мнѣ неизвѣстно.

сколько развелось, и чиновникамъ мѣстовъ мало, а нашему брату и подавно. Ну, а когда мы прочитали положеніе и поняли дѣло—ничего—домовъ не отнимутъ, а кто выслужилъ года—покоса не отнимутъ, а не выслужилъ—деньги плати. Хорошо, ей-Богу! Хочешь работать—работай, денежки будутъ давать, а драть да бить по мордѣ ужъ не станутъ, значитъ, воля, и самъ можешь сдачи дать. Слава тѣ, Господи! Мы, казенные люди, рады были волѣ, только, по привычкѣ что ли или Богъ знаетъ отчего, намъ какъ-то неловко казалось вдругъ сдѣлаться вольными: работалъ ты, били тебя, драли, какъ сидорову козу, и вдругъ ты вольный, хоть въ купцы ступай! Эко диво! Эко счастье! Эвоно куда пошло!.. Да мы, братецъ ты мой, хорошій ты человѣкъ!.. Да мы, скажу я тебѣ, цѣлую недѣлю, какъ прочитали положеніе, изъ кабаковъ не выходили, а дома все батюшку-Царя родного благодарили! На что наши жены—дуры, и тѣ себѣ по обновкѣ купили да по гривенной свѣчкѣ за Царя поставили въ церкви... Ай-да батюшка-Царь! Большое тебѣ спасибо: не ты бы, голубчикъ, такъ поѣдомъ бы насъ заѣли...

Два года еще мы работали по старому, только наши начальники затихли: не стали насъ драть. Въ частныхъ заводахъ бунты затѣвали, оттого, значитъ, что тамъ усилили на рабочихъ работы, для того, значитъ, чтобы рабочіе больше сдѣлали, а то, пожалуй, послѣ рудники станутъ; къ тому же находились тамъ такіе умники, кои сбивали народъ, что работать больше не слѣдуетъ. Ну, а нашего брата, сказалъ что̀ одинъ толково, и всѣ въ одинъ голосъ говорятъ: такъ! Ну и не шли на работы, къ управляющему лѣзли, побить его хотѣли... Ихъ усиряли солдаты и губернаторъ, и драли потомъ, а все-таки не объясняли толково... Потомъ, какъ уволили насъ совсѣмъ въ нынѣшнемъ году, начальство и давай упрашивать насъ остаться при тѣхъ же работахъ, плату намъ назначило. Ну, мы, бѣдные люди, казенные и бывшіе господскіе подумали, подумали, куда пойдешь? Да и на одномъ мѣстѣ камешекъ обрастаетъ, говоритъ пословица; денегъ нѣтъ, и стали опять работать попрежнему; только теперь ужъ вольные люди, и денегъ больше даютъ. Да и опять, какъ подумаешь, вѣдь безъ насъ казна не обойдется; кто, кромѣ нашего брата, пойдетъ на фабрику да въ рудникъ: крестьянинъ или иной какой къ этой работѣ не сроденъ, а мы сызмалѣтства привыкли къ ней. Намъ и холодъ и голодъ — все нипочемъ. Ну, такъ всѣ и остались при своихъ мѣстахъ, и теперь лучше стало какъ у насъ, такъ и въ бывшихъ частныхъ заводахъ. Иные богатые въ мѣщане да въ купцы записываются, другіе куда-то разъѣхались, а мы, маленькіе люди, такъ и будемъ маленькими людьми: только теперь мы вольные люди, никто нами не смѣй понукать... А все батюшка-Царь намъ это добро сдѣлалъ. Ну, какъ не молить намъ за него Бога... Вотъ, значитъ, онъ одинъ понялъ да вникнулъ въ наше положеніе...

II.

Полѣсовщикъ.

Теперь скажу я тебѣ, братецъ ты мой, что я за человѣкъ такой. Видишь ли: отецъ мой былъ лѣсной сторожъ, самый послѣдній, маленькій человѣкъ, ничтожный, то-есть: всякій подначальный его могъ бить, сдѣлать съ нимъ, что вздумалось бы. Звали его отъ рожденія и до самой смерти Иваномъ Ѳотеичемъ Ивановымъ, а какъ умеръ—теперь по поминальникамъ, кои у дѣтей подѣланы, въ церквахъ, въ радовницы да въ день его святого, поминаютъ только рабомъ Божьимъ Иваномъ или Іоанномъ, какъ въ поминальникѣ у него написано. Вотъ этотъ рабъ Божій да подначальный, самый маленькій человѣкъ, былъ женатъ на Степанидѣ Егоровнѣ, отъ которой родилась ему куча ребятъ, цѣлая семья: Гаврила, Петръ, Семенъ, Тимоѳей, Павелъ, Агафья и Пелагея и я послѣ нихъ. А окрестили меня Иваномъ, и сталъ я Иванъ Ивановъ Ивановъ же. Вотъ что. А почему не иначе меня назвали, я скажу тебѣ, братецъ ты мой, исторію, которую отецъ мой часто разсказывалъ своимъ пріятелямъ. Онъ такъ говорилъ: «этотъ шишкотрясъ Ванька больно мнѣ солонъ, костью въ горлѣ стоитъ... Потому, значитъ, меня черезъ него съ кордона стурили въ сторожа, и съ его родинъ я совсѣмъ обѣднѣлъ. У меня, знаешь ли ты, было ужъ пять сыновей: Ганька, да Петька, да Сенька, Тюнька, да Пашка, да двѣ дочери, Агашка и Палашка, и не радъ былъ я этой оравѣ, потому, значитъ, въ избѣ стало тѣсно, и одѣть ихъ не во что было... А если были какіе доходы, все на мясо да водку уходило, потому выпивалъ я баско... Ну, я уже и не думалъ, чтобы жена еще кого-нибудь родила, потому, значитъ, она ничего не говорила, да и я не замѣчалъ... Ну, и ладно... Былъ я, знаешь ли ты, одного раза, лѣтомъ, на кордонѣ; пробылъ уже два дня и мастюжилъ себѣ сапоги. Вдругъ и прибѣжали Ганька да Петька, и говорятъ мнѣ: мамка, тятька, парня родила... насъ за тобой прогнала; крестить, говоритъ, парня надо; помирать тожно... Денегъ велѣла нести... Озлился я на парней, оттаскалъ ихъ за гривы, и жену выругалъ, и сталъ парней домой гнать. А они что: хоть колъ имъ теши на головѣ, пристали бестіи: парня, говорятъ, мамка родила, реветъ ужъ онъ больно... Маленькой, говорятъ, такой, да красный зачѣмъ-то... Ну, я подумалъ, подумалъ: коли родила, не бросать же въ прудъ, пригодится; по крайности провіантъ на него буду получать; далъ имъ три гривенника и протурилъ домой: скоро, молъ, буду; только вмѣсто себя кого-нибудь оставлю... Парни домой побѣжали. Хохочутъ, на одной ногѣ скачутъ, да деньги ловятъ, а я все вижу съ дороги, да ругаюсь имъ и кулаки кажу... Въ это время пришелъ на кордонъ сосѣдъ-полѣсовщикъ, ну, я и попросилъ его остаться за меня денька на два и заказалъ, если спроситъ меня лѣсничій или помощникъ, сказать, что у меня-де жена парня родила. Только я вышелъ на

дорогу, и сѣлъ на лошадь, и увидѣлъ, какъ недалечко изъ лѣса два порубщика выѣзжаютъ съ бревнами. Скликалъ я товарища и напалъ на нихъ... Они было артачиться стали: куды-те—кулаки тоже кажутъ... А когда мы хотѣли у нихъ поводья изрубить, да дуги отнять—они и дали намъ два рубля... Ну, мы и отпустили... Поѣхалъ я домой, посвистываю себѣ: денежки, молъ, есть; попу есть что дать... Да попался мнѣ навстрѣчу сосѣдъ, будь онъ проклятъ, Егоровъ. Поѣдемъ, говоритъ, выпьемъ, у меня деньги есть... А онъ уже выпивши былъ. А какъ я подъѣзжалъ уже къ своему краю, въ Мельковку *), и недалеко былъ отъ кабачка, и зашли выпивать, а лошадь я привязалъ къ столбу фонарному, какой былъ около кабачка, одинъ во всемъ этомъ краю. Ну, зашли, выпили по косушкѣ, мало показалось, еще взяли полштофъ, ужъ на мои деньги, а тутъ еще знакомый мастеровой гранильной фабрики подвернулся, еще насъ угостилъ. Изрядно таки мы выпили, долго дебоширили изъ-за чего-то съ цѣловальникомъ, и выбили его; насъ за это и спровадили въ полицію... Какъ повели насъ въ полицію, хватился я лошади—тютю!.. Ахъ, капалка, чертъ бы тебя подралъ! Куда лошадь дѣлась?.. Сталъ спрашивать то того, то другого; не знаемъ, говорятъ... Вотъ какія свиньи! А казаки гонятъ насъ... Досадно мнѣ стало; взбунтовалъ я двухъ мастеровыхъ, да еще четверо пришли; оттузили мы казаковъ. Ушли они отъ насъ... Куда дѣлась лошадь? Злость меня беретъ; да и своя братія, мастеровые, тоже жалѣютъ... А нашему брату безъ лошади, какъ безъ рукъ житье. Сказали мнѣ, что Гаврила Заикинъ увелъ ее. Вотъ я къ нему—дома нѣтъ. Маршъ въ полицію, а меня, вмѣсто того, чтобы мою жалобу разобрать, въ чижовку посадили... Ахъ, досада какая! хотѣлъ я всѣ стѣны проломать, людей, воровъ да мошенниковъ, которые тутъ были, хотѣлъ избить, да силы и воли такой не было... Такъ я и ночевалъ въ чижовкѣ, а утромъ меня высѣкли. Ужъ какъ мнѣ досадно было... Сталъ было я просить одного служащаго просьбу накатать, да онъ рубль запросилъ; выругалъ я его, варнака, и пошелъ къ лѣсничему. А тотъ ужъ узналъ, что я въ полиціи сидѣлъ, никакихъ оправданій не принялъ, а снова спровадилъ меня въ полицію, высѣчь велѣлъ, а потомъ идти въ лѣсъ и назначилъ меня сторожемъ на другую площадь... Что ты станешь дѣлать: просить некого больше... Просидѣлъ еще день; выпустили, спасибо хоть не высѣкли снова: жалко, должно-быть, стало... Прихожу я домой: жена ругается, стерва, а меня злость беретъ; ударилъ я ее по головѣ кулакомъ, и сказалъ все какъ было. И она запечалилась; троихъ парней, которые постарше были, послала лошадь искать. А когда я спросилъ: какъ парнишку назвали, она и сказала Иваномъ. Это, говоритъ, такъ было. Я, говоритъ, по всѣмъ сосѣдямъ бѣгала, да едва, едва съ полтину выклянчила денегъ; спасибо Петровичъ (знакомый мастеровой, человѣкъ капитальный) кумомъ захотѣлъ быть, и денегъ два рубля далъ, и мѣдный крестикъ съ гайтанчикомъ парнишкѣ купилъ. Ну, принесла я парнишку въ церковь. Петровичъ пришелъ, да Гурьяновна съ Трофимовной пришли въ церковь... Трофимовна рубашку ситцевую ребенку сшила, и кумой была... Насилу, насилу мы уговорили священника окрестить: некогда, говоритъ, послѣ придите... Вотъ и сталъ онъ спрашивать меня: «какое ребенку имя дать?» А я почемъ знаю? Грамотная я, что ли? Ну, и говорю: «Хоть какое, батюшка, только поскладнѣе да полегче»...—«Какое же?» думаетъ онъ, и спрашиваетъ кума. И осердился тожно: «Вы, говоритъ, раньше должны обдумать»... Кумъ не будь робокъ, сказалъ: «вы, говоритъ, батюшка, не горячитесь, потому, значитъ, люди бѣдные, а тоже коли окрестите, мы денегъ дадимъ, а не окрестите, къ архирею пойдемъ»... Батюшка осердился и вскричалъ: «Да какое же имя-то?»—«Ну какихъ всѣхъ больше», говоритъ кумъ: «коихъ больше въ году, такое и дайте»... «Ивановъ больше»,—сказалъ священникъ. «Ну Иванъ, такъ Иванъ, все едино», сказалъ кумъ. И окрестилъ попъ парнишку Иваномъ... А лошадь я такъ-таки и не нашелъ... Годъ цѣлый на чужой ѣздилъ, цѣлый годъ лѣсъ продавалъ, да копилъ деньги, и купилъ хоть дрянную, да всеже лошадку, а просилъ изъ казны—не дали: не стоишь, говорили...

И сталъ я расти, да расти. А что было до четвертаго года, не помню. На четвертомъ году я уже бѣгалъ, а на пятомъ году понимать сталъ. Звали меня Ванькой да Ванюшкой всѣ братья да сестры, и отецъ съ матерью. Старшіе братья и отецъ съ матерью то-и-дѣло меня звертывали и колотили, потому, значитъ, больно ужъ я баловникъ былъ. Да и не я одинъ баловникъ былъ, братья да другіе наши ребята еще получше меня были. Только мнѣ больно доставалось. Я скажу тебѣ, братецъ ты мой, отецъ былъ бѣдный человѣкъ, жили мы всѣ въ одной избѣ, спали лѣтомъ кто на сѣнникѣ, кто въ чуланѣ, кто въ избѣ, кто гдѣ попало, а зимой мать съ отцомъ на печкѣ лежали, если отецъ былъ дома, мы на полатяхъ да въ печкѣ, потому, значитъ, у отца не было шубы, а ходилъ онъ въ сѣромъ кафтанѣ, да большой мѣховой шапкѣ, а на руки надѣвалъ собачьи рукавицы, большія пребольшія такія, что мнѣ пятилѣтнему, какъ я надѣвалъ отцовскую рукавицу, она по горло была... У матери была еще шубейка, въ родѣ нонѣшняго пальта, а у насъ кромѣ рубашенокъ, да у старшихъ братьевъ худыхъ прехудыхъ штановъ, ничего не было. И у отца-то съ матерью всего на все было по двѣ рубахи, а умываться мы не умывались, только въ банѣ каждую недѣлю мылись. Когда мнѣ былъ пятый годъ, я съ отцомъ да съ матерью да еще маленькой сестренкой Машкой, какая черезъ годъ, сказывали, послѣ меня

*) Названіе края города Екатеринбурга. Эту часть города отдѣляетъ узкая грязная рѣчка Мельковка, впадающая въ городской прудъ. Дома въ Мельковкѣ старенькіе, построенные на заводскій манеръ. Если только зайти въ Мельковку и пройти нѣсколько грязныхъ улицъ и переулковъ, да посмотрѣть на дома, людей, коровъ, козъ и ребятишекъ, бѣгающихъ и расхаживающихъ по улицамъ, такъ и кажется, что это какая-то деревня. Все-таки это городъ.

родилась, вмѣстѣ мылись въ банѣ, потому, значитъ, насъ мать мыла и парила аяй какъ жарко... Отецъ-то ужъ тогда больно парился и смѣшилъ меня да мать, на что и Машка, мала была, и та кричала весело и махала рученками, да показывала на отца. Онъ заберется это на полокъ, сгонитъ мать на лавку и давай хлестаться вѣникомъ. Жара нестерпимая... Отецъ выпарится и пойдетъ зимой изъ бани прямо на снѣгъ и сядетъ и пыхтитъ, да любуется на себя... А у насъ баня безъ крыши была, и передбанника въ ней не было, а прямо залѣзали съ огорода въ баню, и въ ней раздѣвались, и рубахи вѣшали на шестъ: оно и хорошо, и рубахи не мочатся, потому, значитъ, вши да блохи издохнутъ отъ жара, и мы ихъ же надѣваемъ, а не то мать ихъ въ банѣ же вымоетъ и высушитъ, пока мы моемся... Лѣтомъ отецъ не выходилъ послѣ парки изъ бани, а окачивался холодной водой. Прочіе братья ходили всѣ вмѣстѣ, а сестры особо. Семья у насъ была большая. День у насъ такъ начинался. Встанемъ мы и подходимъ къ матери «ись! ись!..» Какъ заголоситъ человѣкъ пять: «ись», она и дѣться не знаетъ куда. Одного колонитъ, другого оттеребитъ, третьяго ухватомъ прогонитъ, а ее передразниваютъ: языкъ выставляютъ, хохочутъ... Кто плачетъ, кто другъ друга колотитъ да за волосы теребитъ... А скажетъ она кому-нибудь: поди-кось, принеси то-то—никто нейдетъ... Подоитъ она корову, принесетъ намъ кринку молока да каравай хлѣба, двѣ ложки деревянныя, мы и начнемъ драку, кто хлѣбъ отнимаетъ, кто ложку, кто кринку къ себѣ волочетъ... Крикъ, и смѣхъ, и плачъ... Просто содомъ и гоморъ...

Лѣтомъ мы весь день терлись на улицѣ и играли съ ребятами въ разныя игры. На пятомъ году я боекъ былъ, и доставалось мнѣ отъ всѣхъ. Волосы у меня были бѣлые, курчавые такіе, лицо некрасивое, карявое, говорятъ, оспа изъѣла. Какъ это я выбѣгу изъ воротъ, и зовутъ меня ребята: «векша! векша! бычья голова!» На улицѣ мы барахтались, кувыркались, въ лошадки бѣгали. Обхватишь, бывало, промежъ ногъ палку и задуваешь по улицѣ въ рубашенкѣ, только волосы трясутся, а тебя погоняютъ съ крикомъ да свистомъ. Или возьмешь въ зубы веревку за середину, двое держатъ ее за концы, и давай понукать тебя. Ну, и стерелешивашь *), и свѣту Божьяго не видишь, бывало и упадешь, поплачешь маленько и опять за старое. Я тогда бойко бѣгалъ; были парни, кои бойчѣе меня бѣгали, ну, да тѣ старше меня были. Бывало пустишься бѣжать взапуски, бѣжишь, бѣжишь, а какъ нагонитъ тебя кто-нибудь, собьетъ съ ногъ, сядетъ на тебя верхомъ—вези!—и везешь; другой подскочитъ, подплететъ ноги — падешь, начинается барахтанье... плачъ и смѣхъ... Кои изъ насъ постарше были, тѣ въ бабки играли да черезъ голову перекувыркивались, и я этому научился. Больно мнѣ хотѣлось научиться на рукахъ да на головѣ ходить. Это я видѣлъ на бульварѣ, какъ одинъ фокусникъ на головѣ ходилъ... Ну, мы ребята были переимчивые, насъ фокусы больно занимали, и многіе изъ насъ учились на головѣ ходить, да не могли. Рѣдкій день проходилъ, чтобы я не ложился на середину дороги да не поднималъ кверху ногъ. Поднимаешь это ноги къ верху—неловко становится, а тутъ еще подвернется кто-нибудь, и потащитъ тебя за ноги; къ нему другіе подойдутъ, и тащатъ кто за ногу, кто за руку, да кричатъ: волоки его, качай на всѣ стороны! Съ этими парнями я научился кукишки показывать, глаза косить, да дѣлать глаза красными, черезъ заплоты лазить, съ крышъ скакать, да въ трубу съ вышки пролѣзать на крышу. Бывало вылѣзешь это изъ трубы весь черный, какъ дьяволъ, и соскочишь съ крыши, а потомъ и побѣжишь умываться изъ лужи или на рѣку. Придешь домой; какъ увидитъ мать черную рубаху, и давай полысать вицами изъ вѣника. Я и въ бабки игралъ. Бабокъ у насъ было богатство, потому, значитъ, мы ихъ сами промышляли. Пойдешь куда-нибудь на недѣлѣ, да, гдѣ сору больше, и перероешь мѣсто—нѣтъ ли бабокъ. Нашелъ гнѣздо, и слава тѣ, Господи. У меня немного было бабокъ, потому, значитъ, играть я не умѣлъ: не могъ въ гнѣздо попадать. А другіе по лукошку имѣли. Поставятъ это гнѣздъ восемь или пятнадцать, и давай кидать за черту бабки. Если бабка падетъ сакой—на брюхо, значитъ тому первому и бить, а пала бокой—тому послѣ бить. Вотъ набросаемъ мы бабки и давай спорить: ту бабку, коя сакой пала бокой дѣлаемъ, а боку—сакой, ну, и барахтаемся да ругаемся. Я любилъ слѣпымъ бить. Такъ и наровлю, чтобы моя бабка пала между чертой и гнѣздами. Ну, какъ падетъ, зажмурятъ мнѣ глаза, я кину бабку, и переброшу черезъ конъ... Побѣгу, схвачу съ кона гнѣздо, сшарабошу ногой всѣ гнѣзда, и маршъ наутекъ... Меня догоняютъ, колотятъ. Пробовалъ я и налитками бить—бабками со свинцомъ,—все плохо попадалъ, бросалъ и кобыльи бабки—большія—и тутъ мимо, а все-таки уносилъ домой пару гнѣздъ, воровалъ, значитъ. Не нравилось мнѣ, какъ дразнили меня наши ребята. Какъ завидятъ они меня, и кричатъ: «векшица! векшица! бычья голова! шаршавая собака!..» Я бѣжалъ къ нимъ и хотѣлъ ударить кого-нибудь, а они подходили ко мнѣ, протягивали руки и уськали, какъ собаку: «векшица, векшица! усь! усь!» Я хотѣлъ поймать ихъ всѣхъ и заодно прибить, а они бѣжали да опять дразнили... Я кидалъ въ нихъ каменьями, и они въ меня кидали. Отъ этихъ шалостей у меня вотъ и теперь на лбу медаль сидитъ: камнемъ попали. Когда попали, я съ воемъ пришелъ домой, а отецъ въ то время дома былъ, ремнемъ меня отдулъ... Большое удовольствіе было для насъ коровъ сердить. Схватишь хвостъ коровы и давай его таскать, а если корова бодливая, песку ей накидаешь въ глаза... Прохожимъ, особенно дѣвкамъ да такимъ ребятамъ, которые въ сюртукахъ ходили, отъ насъ не было спуска. Пройдетъ дѣвка, мы съ нея платокъ стащимъ; если она воду несетъ—наплюемъ въ воду или прольемъ. Она дерется, а намъ смѣшно.

*) Бѣжишь.

*

Идетъ баричъ какой (мы не любили баричей или тѣхъ, которые въ сюртукахъ ходили), мы и давай плясать передъ нимъ да глаза косить. Нейдется ему, мы рядышкомъ пойдемъ съ нимъ, и давай толкать его въ бока, для того, значитъ, чтобы разсердить. И если онъ разругается—намъ и любо. Мы и давай его передразнивать, какъ онъ ходитъ, и говоримъ: «барчукъ-пичукъ, въ чужой огородъ залѣзъ, козу съѣлъ... Свинья ему избу лизала». А если ему невтерпежъ будетъ, да онъ каменьями станетъ кидаться, мы убѣжимъ отъ него, и кричимъ: «пырни его! камнемъ его!..» И кидали каменьями, а сами убѣгали...

Любили мы также въ огородѣ воровать да топтать, что насажено. Въ огородахъ у насъ и теперь чучелы подѣланы. Стоитъ шестъ съ перекладиной, и на него рубаха или рогожа надѣта, а внутри за рубаху или рогожу солома натолкана, какъ есть человѣкъ съ руками, только ногъ нѣтъ, а вмѣсто головы къ туловищу буракъ или худая прехудая шапка надѣта. Это, значитъ, для того, чтобы вороны да кои другія птицы въ огороды не летали и растенія не клевали. Ну, мы заберемся въ огородъ, перетопчемъ всѣ гряды, повытаскаемъ лукъ да рѣдьку или картофель и чучелу на землю свалимъ, и тычинки, которыя воткнуты въ гряды съ горохомъ, выдергаемъ. Придутъ наши матери—только ахаютъ да коровъ и козъ ругаютъ, а какъ замѣтятъ насъ—выдерутъ, да что намъ бабья дерка! Для чего мы гряды топтали—никто изъ насъ самъ не понималъ, а дѣлалось какъ-то спроста, ни съ того, ни съ сего, и намъ послѣ этого смѣшно было; либо воровали съ чужого огорода морковь—тоже не знаю для чего, а такъ хотѣлось побаловать. А отчего мы такими баловниками были, такъ потому, смекаю, что отцы наши рѣдко дома бывали, а если бывали, то били только зато, если мы ихъ не слушались. Матери намъ ни по чемъ были: онѣ только съ утра до вечера ругались, а если и били больно, такъ намъ только обидно было: мы видѣли, какъ отцы наши ихъ били да веревками драли, и мы въ это время смѣялись и говорили другъ дружкѣ шепотомъ: «ай-да, тятька! Ну-ко ишо прибавь!..» Любо намъ почему-то было, когда отцы матерей били, и мы не боялись матерей, а часто, когда онѣ колотили насъ, мы притворялись, что плакали и грозили: «погоди, тятькѣ скажу!..»

Лѣтомъ въ домъ мы ходили только ѣсть.

Много мы тогда ѣли. Зимой сидѣли дома на печкѣ да на полатяхъ, а если отецъ куда-нибудь посылалъ котораго-нибудь изъ насъ, тотъ надѣвалъ отцовскую курточку, огромную его шапку. Пойдешь это по дорогѣ въ такомъ облаченіи—рукава по снѣгу волочатся, сапоги тяжелые такіе, снѣгъ то-и-дѣло въ нихъ набивается... Шлепаешь, шлепаешь, запнешься и упадешь, а шапка такъ и закрываетъ ротъ, а поднять её рукава мѣшаютъ...

Кромѣ бѣганія да колотушекъ другъ съ дружкой, мы досаждали своимъ сестрамъ. Больно мы не любили ихъ зато, что онѣ на насъ жаловались, ну и пакостили имъ. Завидимъ только гдѣ-нибудь чулокъ и распустимъ его; увидимъ на полатяхъ или въ углу прялку съ куделей да веретешкомъ, вытащимъ веретешко, и забросимъ куда-нибудь, подъ лавку или за печку, или когда онѣ половики ткали, мы разрѣзывали ихъ. Пройдетъ которая-нибудь изъ нихъ мимо насъ, мы ноги подставляемъ да хохочемъ, или когда онѣ обѣдали отдѣльно отъ насъ, мы въ щи плевали. А все на эти штуки я былъ гораздъ.

— Вотъ что, Тюнька, сдѣлаемъ мы штуку?—говорилъ я брату Тимоѳею.

— Сдѣлаемъ.

— А ты не скажешь?

— Ты только молчи, я шабашъ.

— Пойдемъ, вымараемъ грязью нитки, что Агашка сушить положила на траву.

— Ай-да! Пойдемъ, вымажемъ—и хохочемъ.

Однако наши братья не всѣ дружно жили.

Семенъ да Павелъ часто жаловались на насъ сестрамъ, да матери и отцу жаловались. Отца мы всѣ боялись. Придетъ онъ домой, и какъ только замѣтитъ, что кто-нибудь балуетъ, ударитъ кулачищемъ, по чемъ попало, и скажетъ: «я те, шельмецъ!» Ну, мы и притихнемъ, только втихомолку возимся, а увернется отецъ, опять пошла писать. Какъ только скажетъ которому изъ насъ: «поди-ко, балбесъ, распряги лошадь!» или другую какую работу дастъ, да тотъ не пошелъ, онъ бралъ витень, или ремень, коимъ опоясывался, такъ-то дралъ, что искры изъ глазъ сыпались, и слушались мы отцовскую команду...

Отецъ меня больно не любилъ, часто заставлялъ что-нибудь не подъ силу и если я не могъ, да лѣнился, онъ такъ долго и больно теребилъ меня за волосы, бѣда! И часто ни за что билъ. Мать часто на меня жаловалась отцу.

— Уйми ты, чучело, Ваньку. Я съ нимъ, разбойникомъ, способиться не могу. Онъ вотъ сегодня кринку молока пролилъ...

— Я те, шельмецъ!—ворчалъ отецъ, а я забивался на полати и говорилъ: «мамка сама пролила, а на меня сваливаетъ, ишь какая».

— Поговори ты еще!—кричала мать.

— Чего говори! Сама поди-ко-сь съѣла...—ворчалъ я.

Отецъ стаскивалъ меня съ полатей и билъ не на милость Божію.

Больно мнѣ не хотѣлось качать Машку, когда она еще маленькая была. Закричитъ мнѣ мать: «Ванька, качай ребенка».

— А Агашка-то што?

— Тебѣ говорятъ!

Сяду я качать зыбку и плачу: «Вотъ Агашку да Палашку, небось, не заставляешь... Что онѣ за барыни за такія! Все лытать бы имъ... А я качай тутъ»...

Мать ударитъ меня по головѣ и погрозитъ пожаловаться отцу. Какъ только ребенокъ затихнетъ, я и маршъ лѣтомъ на улицу, зимой на полати, и не вытащишь меня оттуда. А когда приведетъ она меня силой, я опять плачу и ругаюсь и думаю: ужъ сдѣлаю я съ этой Машкой штуку! Не станетъ меня мать заставлять! И давай качать зыбку, что есть мочи: все хочется очень переломить, а ова, какъ на зло, только гнется, да гнется. Машку то-и-дѣло

перебрасываетъ изъ стороны въ сторону; она реветъ, мать подойдетъ, прибьетъ меня и прогонитъ.

Много я принялъ побоевъ въ дѣтствѣ, да и не одинъ я: всѣ мои братья и прочіе ребята такъ же росли, только первымъ, сказываютъ, будто лучше было.

Зимой, въ масленицу, мы дѣлали катушку, и катались на лубкахъ да рогожахъ, кубыремъ скатывались и сестеръ своихъ толкали съ горки. Въ масленицу въ жмурки играли: завяжетъ кто-нибудь глаза полотенцемъ или тряпкой и ловитъ прочихъ. Его колотятъ, а онъ бѣгаетъ съ распяленными руками. Какъ поймаетъ кого, тотъ и завязываетъ себѣ глаза и ловитъ. Это и теперь у насъ есть. Ты, братецъ ты мой, извини ужъ меня, что я тебѣ про игры да кое-что разсказалъ. Ужъ таково мое воспитаніе было, и вся наука въ томъ была.

Когда мнѣ былъ двѣнадцатый годъ, отецъ бралъ меня съ собою въ лѣсъ, и заставлялъ рубить дрова и возить ихъ въ городъ домой. Онъ караулилъ лѣсъ верстахъ въ десяти отъ города и жилъ въ немъ по недѣлѣ, а другую жилъ дома, что-нибудь работалъ на себя, шилъ матери да сестрѣ ботинки, кое-кому сапоги, и на эти деньги мать покупала ситца себѣ да сестрамъ. Только въ люди отецъ мало шилъ сапоговъ, потому, значитъ, худо шилъ, а больше починивалъ.

Братья Гаврила и Петръ были взяты на золотые пріиски, а братъ Павелъ и сестра Марья умерли. Въ домѣ у насъ свободнѣе стало, только отецъ провіанта сталъ меньше получать, да и этотъ не весь отдавали: все обсчитывали.

У отца былъ покосъ. Лѣтомъ, въ страду, онъ гналъ насъ всѣхъ на покосъ, и давалъ тамъ по литовкѣ. Любо было мнѣ косить траву. Машешь литовкой направо да налѣво и смотришь, какъ отецъ ловко и бойко коситъ, и ругаетъ насъ, что мы литовки тупимъ о кочки да деревья. На тринадцатомъ году я ногу порѣзалъ литовкой, и теперь она болитъ къ ненастью... Сѣна у насъ много накашивалось, и мы лишнее продавали въ городъ.

Братьевъ Семена и Тимоѳея взяли тоже въ работу на пятнадцатомъ году. Они до восемнадцати-лѣтняго возраста кученки жгли, а на восемнадцатомъ году Семена сдѣлали лѣснымъ сторожемъ въ той же дистанціи, гдѣ былъ и отецъ, и онъ скоро женился, а Тимоѳея послали тоже сторожемъ верстъ за тридцать, а тамъ отвели ему землю для дома и дали покосъ, и онъ тоже женился. Сестра Агафья ушла въ стряпки, вышла замужъ за кучера, а на Пелагеѣ женился полѣсовщикъ Емельянъ Сидоровъ. Въ нашемъ домѣ остались только мать съ отцомъ да Семенъ съ женой и я. Подумаешь это: куда дѣлась такая сенья? Давно ли, пяти годовъ нѣтъ, въ одной избѣ жило одиннадцать человѣкъ, а теперь всего на все пятеро... Отъ Семена опять пошли дѣти, опять стали прибывать новые люди, опять началась возня...

На шестнадцатомъ году я уже хорошій былъ работникъ отцу. Заставитъ онъ меня дровъ нарубить—живо нарублю, складу въ телѣгу, увяжу и домой привезу. Ѣдемъ мы съ нимъ домой, увидитъ онъ большое да широкое дерево и говоритъ: «Ну-ко, Иванъ, свали это дерево! А я вотъ то»... Ну и срубимъ и домой привеземъ. На семнадцатомъ году меня заставили кученки жечь. Нарублю я дровъ, складу ихъ въ кучу, обсыплю землей, а для дыма отверстіе сдѣлаю и зажгу внутри. Прогоритъ этто часа два, я взойду на кученку и давай топтать. Отъ этихъ дровъ только угли оставались. Угли эти возили на фабрику. Не нравилась мнѣ эта работа; выпросилъ отецъ меня у начальства въ лѣсные сторожа. Сначала меня не заставляли стеречь лѣсъ, а заставляли рубить дрова на лѣсничаго да въ казну. За это я получалъ на себя по два пуда провіанту и нѣсколько копеекъ въ мѣсяцъ жалованья. Сталъ я ходить съ отцомъ по лѣсу и учиться службѣ. Обязанность отца была легкая: онъ ходилъ по своей грани, или спалъ въ балаганѣ, и рѣдко ловилъ порубщиковъ, потому-что въ его сторонѣ порубщиковъ было мало. Порубщики были люди бѣдные, наши же городскіе жители мастеровые; были и такіе, которые промышляли себѣ деньги воровскимъ лѣсомъ. Эти люди знали отца вдоль и поперекъ, и рубили лѣсъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они надѣялись уѣхать такъ, что ихъ не поймаютъ. Да и самъ отецъ попустился слѣдить за порубщиками. Онъ и по лѣсу ходилъ рѣдко, а больше спалъ, и если заслышитъ, что кто рубитъ лѣсъ, да кажется, что далеко,—не пойдетъ, а если близко да днемъ—онъ пойдетъ со мной въ лѣсъ, тамъ его поколотятъ, и мнѣ достанется, и мы безъ всего и уйдемъ назадъ, а другіе сторожа были далеко. А если порубщикъ былъ трусъ, отецъ бралъ деньги и пропивалъ ихъ. Онъ говорилъ въ это время: «Слава Богу, послужилъ. Пора бы и на покой, да года не выслужилъ. Денегъ мнѣ теперь не надо: сыновья накормятъ»... Было у него ружье казенное, да оно безъ употребленія висѣло въ балаганѣ. И сталъ я справлять службу такую же, какъ и отецъ. Лѣсъ былъ раздѣленъ на площади, и мнѣ было назначено ходить по одной дѣлянкѣ на грани по восточной сторонѣ верстъ на пять; рядомъ по другимъ дѣлянкамъ были другіе сторожа: мой отецъ и еще двое нашихъ сосѣдей. У каждаго изъ насъ былъ балаганъ, а на дорогѣ кордонъ, гдѣ жили двое полѣсовщиковъ, одинъ старшій, другой младшій и заѣзжали объѣздчики, которые наблюдали только за нами и объѣзжали лѣсъ. Лѣсничій къ намъ ѣздилъ разъ въ мѣсяцъ и дралъ насъ всѣхъ зато, что находилъ лѣсъ вырубленнымъ. Помощникъ его да подлѣсничіе ѣздили каждую недѣлю; но ихъ полѣсовщики поили водкой и давали имъ денегъ. Жизнь въ лѣсу была хорошая; ходи либо лежи, только скучновато, и отвѣтственность большая. На кордонѣ было лучше нашихъ балагановъ, потому, значитъ, что тамъ изба была устроена съ полатями, печью, и окно настоящее было. Полѣсовщики рѣдко выходили на дорогу, а сидѣли въ избушкѣ или спали, оттого порубщики часто провозили лѣсъ. Объѣздчики были нашими начальниками, но имъ давали денегъ. Я былъ тогда молодъ, но бойкій парень. Какъ только услышу, кто-то рубитъ

лѣсъ, сейчасъ въ лѣсъ, и топоръ съ ружьемъ возьму съ собой. Поймаю порубщика, обрублю оглобли, и закричу кого-нибудь. Придетъ другой сторожъ съ ружьемъ, станетъ просить денегъ; тотъ не даетъ, мы его скрутимъ и отдадимъ на руки объѣздчикамъ. За это мнѣ давали награды, и какъ я часто ловилъ, то лѣсничій со мной былъ ласковъ и часто бралъ къ себѣ въ денщики. Въ лѣсу скучно было. Ходишь, ходишь, дровецъ порубишь, выстрѣлишь въ бѣлку или въ птицу какую. Звѣрей у насъ не было, а птицъ было мало, только рябки. Въ лѣсу я познакомился съ полѣсовщикомъ Степаномъ Ермолаичемъ. Славный онъ былъ человѣкъ, сѣдой уже, весельчакъ такой. Какъ начнетъ разсказывать что-нибудь, только знай слушай. Онъ все книжки разныя читалъ свѣтскія и духовныя. Захотѣлось больно мнѣ выучиться грамотѣ отъ него. До этой поры я ни аза въ глаза не зналъ. А просить его мнѣ казалось стыдно, что такой большой я, а читать не умѣю. Думалъ я: гдѣ ужъ мнѣ выучиться, коли отецъ не знаетъ грамотѣ. А почему онъ не знаетъ? Отчего всѣ сторожа спрашиваютъ у Степана Ермолаича: это какъ, а это почему? Видно грамота больно тяжка...

Прихожу я однажды въ избу. Степанъ Ермолаичъ сидитъ въ очкахъ съ мѣдной оправой и читаетъ житіе святыхъ. Его слушаютъ человѣка три.

— Что скучно, братанъ?—спросилъ онъ меня.

— Скучно, дѣдушка.

— Плохо.

— Ты о чемъ читаешь?

— Да какъ святая Екатерина мучилась.—И сталъ онъ мнѣ разсказывать, какъ она мучилась.

Въ это время я не утерпѣлъ и сказалъ:

— Какъ бы это мнѣ научиться, да все знать?

— Научиться можно, а все знать нельзя.

— Нѣтъ, ужъ мнѣ не научиться.

— Только прилежаніе имѣй—выучишься. Я самъ на двадцать первомъ году выучился.

— Научи меня, дѣдушка!

— Ладно.

Ну, и сталъ онъ учить меня такъ. Взялъ какую-то книжечку, и сталъ показывать буквы и говоритъ: вотъ смотри, какъ эта буква напечатана, а эта вотъ иначе, тутъ опять такъ. Вотъ къ примѣру возьмемъ: «изба». Вотъ тебѣ «и», вотъ «земля», вотъ «буки», вотъ «азъ». Потомъ разсказалъ мнѣ, сколько у насъ буквъ всѣхъ, пересчиталъ, и мнѣ велѣлъ запомнить. Часа три онъ мнѣ толковалъ азбуку безъ книги. Я половину запомнилъ, какъ пошелъ къ своему балагану все твердилъ азъ, буки... а какъ легъ спать, все перезабылъ. Ночью я то-и-дѣло просыпался, такъ у меня и вертѣлись на языкѣ азъ да буки. Когда пробудился, половину вспомнилъ и сталъ отыскивать въ книгѣ. Много было въ ней буквъ, много походящихъ одна на другую. Долго я старался отыскать *избу*—не нашелъ, а нашелъ только *Богъ, они*. Бога я зналъ, а *они* никакъ не могъ понять, что это за штука такая. Попалось мнѣ *колесо*—ну, это знаю; попалось *добро*—не могъ понять. Пошелъ опять къ старику. Растолковалъ онъ мнѣ все какъ есть. Такъ я учился полгода, а въ годъ совсѣмъ выучился. Сталъ у него просить книжекъ и читалъ. Потомъ, когда я бывалъ у лѣсничаго, правилъ должность денщика, времени свободнаго много было; сталъ просить у него книжекъ; онъ, спасибо, давалъ. Лѣсничему я понравился, и онъ велѣлъ учиться мнѣ писать. Писать меня училъ тотъ же Степанъ Ермолаичъ. Только самъ онъ плохо писалъ. Все-таки я и писать умѣлъ. За это и за то, что я былъ исправенъ, и за то, что старался всячески угодить лѣсничему, онъ меня назначилъ полѣсовщикомъ, далъ денегъ на лошадь, и послалъ на кордонъ въ другую площадь. Вотъ, значитъ, ученье мнѣ помогло: чиномъ повысили. Сталъ я копить деньги отъ доходовъ и покупать старыя книжонки на рынкѣ. Купишь и читаешь; хотя дрянь, а все лучше, чѣмъ сложа руки сидѣть. И узналъ-то я отъ книгъ больше, и удивлялся, какъ это я такъ скоро выучился. А все спасибо Степану Ермолаичу. Славный онъ былъ человѣкъ: дай ему Богъ царство небесное. Умнѣющая голова былъ. Только—не тѣмъ будь помянутъ — съ женою не жилъ владахъ. Жена жила въ городѣ, дѣтей имѣла, а онъ на кордонѣ жилъ со вдовой мастерской Анисьей Панкратьевной. Не любилась ему жена, хотя и молодая была баба, красавица, на коей онъ въ третій разъ женился, потому, значитъ, что она лѣсничему часто прислуживала. А это такъ было, разсказывалъ Степанъ Ермолаичъ. Пріѣхалъ къ намъ новый лѣсничій, не молодой ужъ, холостой. Въ это время я былъ женатъ третьимъ бракомъ, и какъ разъ въ день его пріѣзда дежурилъ у него. Только, значитъ, онъ переночевалъ, и говоритъ мнѣ: — Послушай, любезный, не знаешь ли ты такой женщины, которая могла бы мнѣ рубашки вычистить?—Я говорю:—Насчетъ этого не сомнѣвайтесь, ваше благородіе, я женѣ своей отдамъ. — Умѣетъ ли твоя жена чистить бѣлье? — Отчего не умѣетъ, ваше благородіе.—Ну, такъ ты ее пошли ко мнѣ.—Послалъ я жену къ лѣсничему, ну, а тамъ и пошло; сталъ онъ ей денегъ давать да чаемъ поить, а меня на кордонъ послалъ и не велѣлъ оттуда выходить. Я и говорилъ ему, что, молъ, ваше благородіе, у меня дѣти. А онъ и говоритъ:—Чертъ ли мнѣ въ твоихъ дѣтяхъ? Ты слушай, что тебѣ приказываютъ...—Я опять и говорю:—Да вѣдь, ваше благородіе, жена моя вамъ не пара, вы не имѣете права обижать меня...—Онъ и говоритъ:—Если ты еще поговоришь, я вздуть тебя велю...—Ну, я такъ и ушелъ на кордонъ и женѣ попустился, потому, значитъ, жаловаться некому, а коли пожалуешься—хуже будетъ... Была у насъ гулящая баба, молодая; ну вотъ, я ее и подговорилъ, и сталъ жить съ ней, потому, значитъ, безъ бабы нашему брату нельзя жить...

Съ Анисьей Панкратьевной Степанъ Ермолаичъ жилъ пять лѣтъ, до самой смерти. Я зналъ его жену, а дома съ дѣтьми игрывалъ. Насчетъ жены всѣ наши мастеровые толковали, а ей нипочемъ было. Дѣти Степана Ермолаича, постарше, были взяты въ работы, а помоложе, росли такъ же,

какъ и я, только часто голодомъ сидѣли отъ непорядковъ матери, и воровствомъ занимались.

Не нравился мнѣ одинъ объѣздчикъ Филатовъ. По его милости часто лѣсничій наказывалъ нашего брата, полѣсовщиковъ да сторожей, потому, значитъ, онъ фискалилъ лѣсничему. Придетъ, напримѣръ, ко мнѣ въ избушку и говоритъ: —Что ты, Ивановъ, не ловишь мошенниковъ? Я сколько сегодня видѣлъ, какъ они съ дровами ѣхали. Покажи книгу?—У насъ велась въ избушкѣ книга, въ коей мы записывали, сколько тогда-то изъ лѣса увезено дровъ да бревенъ. Если дашь ему денегъ—ничего, а если нѣтъ—онъ лѣсничему пожалуется; пріѣдетъ подлѣсничій или самъ лѣсничій, и передеретъ меня и прочихъ рабовъ Божіихъ. Меня онъ крѣпко не долюбливалъ зато, что я не кланялся ему, и хотя исправно велъ себя, но часто меня драли неизвѣстно за что...

На девятнадцатомъ году задумалось мнѣ жениться. Скучно стало одному жить, да и куда ни посмотришь—всѣ женатые; на что и товарищи мои, съ коими я маленькій игралъ, всѣ переженились. Была у меня на примѣтѣ дѣвка Офимья, бойкая такая была. Хоть она и некрасива была, а нравилась мнѣ: привыкъ я ужъ къ ней, потому, значитъ, маленькіе мы вмѣстѣ бѣгали, а жила она съ матерью, вдовой и двумя братьями, женатыми, противъ нашего дома. На что, кажется, я ужъ парень былъ толковый, а отъ шалостей все еще не отставалъ. Попадется это навстрѣчу Офимья, я ее за бокъ ущипну, а она подлецомъ меня называетъ; несетъ она воду, я ведро брошу на землю, она въ спину меня коромысломъ колотитъ... Разныя разности я съ нею дѣлалъ.

Одинъ разъ, лѣтомъ, она попалась мнѣ навстрѣчу—нитки на палкѣ несла на рѣку Мельховку. Я подошелъ къ ней, и ущипнулъ ея руку.

Она заругалась:

— Я те варнака! Что ты балуешь?—и она ударила меня палкой. Я ее опять ущипнулъ.

— Да что ты, въ самомъ дѣлѣ, за разбойникъ такой!—Она плюнула мнѣ въ лицо.

— Экая ты толстая! Ишь какая жирная.

— Типунъ бы тебѣ на языкъ! Что это, Ванька, отъ тебя проходу нѣтъ?..

— А выходи за меня замужъ, и проходъ будетъ?

— Вотъ ужъ! за разбойника экова!

Ну, и сталъ я уговаривать ее, какъ только увижу ее. Согласилась. Она жила въ бѣдной семьѣ, и тамъ ее постоянно корили чѣмъ-нибудь, называли дармоѣдкой и заставляли работать за всѣхъ.

Сказалъ я объ этомъ отцу; тотъ поругался, зачѣмъ я беру бѣдную, да какъ понялъ самъ, что богатыхъ въ нашей улицѣ не было, согласился. Ну, дѣло и уладилось. Братъ между тѣмъ пристроилъ къ дому еще горенку, и жилъ съ женою въ горенкѣ; только мнѣ не хотѣлось жить съ нимъ: жена его ужъ больно капризная была. Пошелъ я къ лѣсничему: онъ выхлопоталъ мнѣ мѣсто за Вознесенской церковью и покосъ, и велѣлъ строить домъ, а на свадьбу далъ три рубля денегъ.

На свадьбѣ весело было. А на другой день послѣ свадьбы меня выстегали. Поѣхалъ, значитъ, лѣсничій лѣса смотрѣть, и нашелъ много порубокъ; ну, объѣздчикъ Филатовъ и нажаловался на меня. Меня и потребовали утромъ къ лѣсничему, а тотъ въ полицію спровадилъ. Обѣщался въ сторожа смѣстить.

Скверное было житье моей женѣ съ братомъ: постоянно ее упрекали голью да лѣнивой; она жаловалась мнѣ, и я увезъ ее въ кордонъ. На кордонѣ мы весело жили. Хорошее было житье съ Офимьей. На что и Степанъ Ермолаичъ завидовалъ мнѣ. Только онъ не долго прожилъ послѣ моей женитьбы: уколотили его, голубчика, порубщики. Анисья Понкратьевна, послѣ его смерти, гдѣ-то въ стряпкахъ жила, да жила, кажется, съ мѣсяцъ, потомъ нищею стала.

Жену свою я научилъ дрова рубить, и съ ней возилъ въ городъ къ своему мѣсту дрова и лѣсъ. На мѣстѣ ея сначала маленькую избушку состроилъ въ видѣ бани, и жилъ въ ней свободную недѣлю. Въ ней Офимья хлѣбъ пекла, щи варила, и мылись мы и парились по субботамъ, а между тѣмъ я дѣлалъ срубы на домъ да на погребъ, а Офимья землю копала, да гряды ладила. Такъ мы и маялись два года. Сынишко у насъ родился; Александромъ назвали. Въ два года я съ отцомъ да съ женой выстроилъ себѣ домъ съ кухней и комнатой, сарайчикъ и погребъ, а избушка осталась баней въ огородѣ, который мы огородили тыномъ, И сталъ я настоящій семьянинъ, и къ дому моему дощечку прибили, что этотъ домъ полѣсовщика Ивана Иванова. Отецъ мой со мной жилъ, да померъ черезъ годъ, какъ мы вошли въ домъ, а мать и теперь жива, только живетъ у Семена, котораго она больно любитъ.

Нашего брата, лѣсную стражу, часто мѣняли на разныя мѣста. Это такъ ужъ лѣсничему хотѣлось. Такъ и я до воли на шести кордонахъ былъ, и почти всю дистанцію знаю, какъ свой покосъ: знаю, гдѣ какой межевой столбъ стоитъ, гдѣ какая рѣчка пробѣгаетъ, гдѣ какой лѣсъ растетъ. Часто я бывалъ отъ города верстахъ въ пятидесяти, и жилъ тамъ по мѣсяцу, а дома жилъ только недѣлю; часто работалъ на казну: прикажетъ лѣсничій лѣса нарубить да траву косить, и дѣлаешь съ прочими къ сроку, а не сдѣлаешь—выстегаютъ: ужъ такой порядокъ былъ заведенъ, а мы были люди все равно, что рядовые солдаты, и дѣлали съ нами, что хотѣли. У насъ былъ такой лѣсничій, что онъ, кажись, наровилъ только карманъ набить. Поймаю, напримѣръ, я его порубщиковъ. Они выругаютъ, приколотятъ меня, и говорятъ, что лѣсничій велѣлъ рубить. Пойдешь къ лѣсничему, станешь жаловаться на порубщиковъ, а онъ тебя же и выругаетъ: «Какое дѣло тебѣ, скотина, до такого-то? Я велѣлъ, и только...» А лѣсъ такой, изъ котораго онъ самъ никому изъ насъ не приказывалъ даже на себя рубить, не только что отпускать по билетамъ. Или посмотришь на билетъ того, кто хочетъ рубить лѣсъ. На билетѣ написано чернилами отпустить по закону столько-то, и де-

негъ столько-то взять слѣдуетъ, а сбоку написано лѣсничимъ, карандашемъ, отпустить ему столько-то бревенъ и не заносить въ книгу. Это, значитъ, онъ съ богатыми людьми самъ дѣла имѣлъ и деньги себѣ бралъ. Вотъ и мы, глядя на лѣсничаго, спускали лѣсъ за деньги, и сами продавали. Потому мы это дѣлали: жалованье было маленькое, да и то часто не давали, или если давали, такъ мы дѣлились съ писаремъ лѣсничаго, да объѣздчиками, а тѣ съ лѣсничимъ. А продашь дровъ да бревенъ, и поправишься. За нами некому было, кромѣ лѣсничаго, слѣдить, а если не дадутъ деньги порубщики—ничего не сдѣлаешь. Они же пойдутъ къ лѣсничему, дадутъ ему денегъ. Тѣмъ и кончится все. А если представишь кого-нибудь къ лѣсничему, да тотъ бѣдный — его подъ судъ упекутъ, да и ты попадешь подъ судъ. Вотъ, напримѣръ, я уже по двумъ дѣламъ попался, и по одному въ подозрѣніи оставили. По первому дѣлу я такъ попался. Привелъ я порубщика къ лѣсничему, сталъ лѣсничій просить съ него денегъ, а у того нѣтъ. Началось слѣдствіе. Стали смотрѣть мѣсто порубки, и нашли, что лѣса много вырублено, а порубщика я поймалъ только съ четырьмя бревнами. Кто вырубилъ лѣсъ? Ну, и потянули меня. Я отпирался, что не видалъ, и на этомъ кордонѣ былъ недавно... А по другому дѣлу: кто-то лѣсъ зажегъ. Стали спрашивать объѣздчиковъ, полѣсовщиковъ и сторожей—никто не видалъ. А это часто дѣлаютъ городскіе мастеровые для того, что пальникъ дозволяли возить свободно. Ну, и оставили насъ всѣхъ въ подозрѣніи.

Плохо было, братецъ ты мой, наше управленіе, и при нашей бѣдности да строгости надъ нами и наказаніяхъ лѣсничаго, мы спустя рукава караулили лѣсъ, и рѣдко представляли порубщиковъ къ лѣсничему, потому, значитъ, боялись, какъ бы ни за что подъ судъ не попасть. Оттого у насъ въ рѣдкой площади былъ одинъ лѣсъ, а то все больше лѣсъ былъ только по краямъ грани, и съ вида казалось, что лѣса много, а внутри одни пни, да поле большое. Лѣсничіе насъ драли за худой присмотръ, а сами наживали лѣсомъ деньги, и отписывались, что лѣса много—столько-то-де десятинъ, чего и не бывало вовсе... Подлѣсничіе мошенничали съ объѣздчиками, сами продавали лѣсъ, и дѣлились съ лѣсничимъ. А главный лѣсничій хотя и бывалъ въ лѣсу рѣдко, но лѣсничіе умасливали его.

Подъ конецъ доходовъ у насъ мало стало, потому порубщики платили мало. Мы брали со всѣхъ отъ рубки лѣса по закону и по своему разуму, а все-таки денегъ у насъ не водилось, потому, значитъ, у каждаго было большое семейство, и мы любили изрядно выпить.

Всѣ мы, наша братія, жили въ своей улицѣ дружно, и часто мѣнялись временемъ работъ. Любили и подраться, и пьяные не спускали никому. Скажу я тебѣ, братецъ ты мой, еще про жену свою. Четыре года она была у меня золото-баба: такая работница, да послушная—любо, а потомъ сбилась спанталыка. Прійдешь домой, вездѣ разбросано, двое ребятъ плачутъ, а она лежитъ на кровати, и коровѣ, что есть, сѣна не хочетъ дать, и не слышитъ, какъ та у крылечка шею чешетъ и мычитъ. Ну, я изругаюсь, она тоже. Спрошу ѣсть—она ни тпру, ни ну! «Самъ, говоритъ, доставай, а я нездорова...» Только выйду я изъ дома, пройду немного по улицѣ, обернусь и вижу: моя Офимья бѣгомъ бѣжитъ въ Терентьевъ домъ. А тамъ жилъ молодой мастеровой Терентьевъ, женатый. Я, конечно, ничего. Только досадно, зачѣмъ дома у ней непорядки?.. Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, а одинъ разъ я увидѣлъ, какъ Терентьевъ выходилъ изъ моего дома!.. Ну, я поругался маленько, побилъ ее за непорядки, и пошелъ къ сосѣду на именины. Тамъ слово за слово, рѣчь дошла до меня. Одинъ хвастался своей женой, другой укорялъ; ну, многіе передрались и сказали мнѣ: «Ты, братъ, Иванычъ, смотри, бей жену. Она у тебя того-съ!..»

— А что?

— А ты не знаешь?

— Она у меня отбиваться начала братцы, измѣнилась.

— То-то и есть. Она, братъ, съ Терентьевымъ таскается...

Я разсердился, чуть было не расцапался съ ними. А одинъ сказалъ: «Я, братъ, самъ видѣлъ часто, какъ онъ по ночамъ къ ней ходитъ. Ты вонъ, смотри, Терентьевъ стоитъ у твоего дома. А почто его жена вонъ у воротъ стоитъ и ругается?..

Вышелъ я на улицу. Жена Терентьева ругаетъ его всякими словами, и жену мою поминаетъ. Вотъ я и прибилъ Терентьева, а жену свою веревкой отодралъ и изъ дома выгналъ. Она было пошла къ Терентьеву, ее жена того протурила. Пошла было она къ сосѣдямъ, и тамъ ее прогоняли, потому, значитъ, наша баталія на всю улицу была. Темно ужъ стало. Я заперъ въ стойку корову, далъ ей сѣна, лошади овса далъ, и легъ спать въ комнаткѣ, а двери заперъ на крючекъ. Дѣти тоже спали. Вотъ я лежу и думаю: «Что это сдѣлалось съ женой? Ну, чѣмъ ей дома не жизнь? Ѣстъ она вволю, носитъ одежду лучше, чѣмъ прежде носила въ дѣвкахъ...» Никакъ я не могъ понять, что сдѣлалось съ женой. Досадно мнѣ стало, и ее жаль: какъ она ночь проведетъ? «Ну, пусть»,—думаю,—«потрется ночь на улицѣ...»

Только, братецъ ты мой, вышелъ я утромъ на дворъ, моя Офимья и даетъ сѣна коровѣ. Я повеселѣлъ маленько, только молчу да хмурюсь, и жду, что будетъ дальше, и сталъ додѣлывать себѣ сани. Она подоила корову, печку затопила; потомъ немного погодя, смотрю, вышла она на крыльцо и смотритъ на меня.

— Иванычъ, подь пироги ись,—сказала она мнѣ.

— Не хочу я твоихъ пироговъ!»

— Поѣшь... право.

— Ты еще отравишь меня.

Однако я пошелъ. Она эдакъ ласково съ дѣтьми говоритъ, молокомъ ихъ поитъ, и мнѣ хочетъ угоровить. Поставила на столъ двѣ тарелки жареныхъ съ говядиной пирожковъ, молока кринку принесла. Я сѣлъ ѣсть, а она у печки возится.

— А ты что, гадина, не ѣшь? — закричалъ я на нее.

— Я ужь здѣсь наѣмся.

Все-таки она сѣла со мной за столъ, и стала ѣсть, а сама все на меня смотритъ и боится, чтобы я ее не свистнулъ кулакомъ. Я таки ударилъ ее по щекѣ ладонью. Она заплакала и голоситъ: «Нѣту мнѣ житья отъ разбойника! Все онъ меня бьетъ...»

— Пошла къ Терентьеву!

— Да что ты меня Терентьевымъ тычешь. На весь городъ осрамилъ...

Я еще ей задалъ стряску.

Съ этого времени моя Офимья ровно шелковая стала. Все это въ дому приладитъ, никакихъ непорядковъ нѣтъ. А съ Терентьевымъ все-таки имѣла штуки тайкомъ. Тотъ, подлая харя, каждый день билъ жену: плакала она бѣдная, жаловалась сосѣдямъ, укоряла мою жену. Сосѣди не кланялись моей женѣ, и говорили про нее разныя разности. Такъ у насъ тянулось три года. Я пересталъ бить жену, попустился; ребятъ только жаль было: они безъ присмотра росли, да колотушкя принимали отъ нея. Сталъ я въ это время пить, всѣ доходы пропивалъ, заложилъ всѣ платья жены, и стали мы жить а-яй какъ бѣдно...

Одново раза пришелъ я домой пьяный, прибилъ жену, выгналъ ее изъ дома, прибилъ дѣтей, посуду перебилъ, и ушелъ пьянствовать. Прихожу на другой день домой — нѣтъ жены. Только сталъ я давать коровѣ сѣна, и зашелъ на сѣнникъ и увидалъ: виситъ моя Офимья на веревкѣ... Струсилъ я, страшно показалось, и жалко стало бабы... Пошелъ къ сосѣдямъ, обсказалъ какъ есть; полиція пришла. Всѣ дивились, что это такое сдѣлалось съ моей женой, и самъ я не понималъ. Ужъ не отъ меня ли она руки на себя наложила? — думалъ я. Жалко мнѣ ея стало: больно ужъ я ее билъ... Всплакалъ я, братецъ ты мой, какъ повезли мою Офимью, и бросили безъ отпѣванія въ яму...

Дѣтей у меня было трое. Александру былъ 6-й годъ, и я его отдалъ портному въ ученики; Петру было 5 лѣтъ, а Опроксиньѣ два года. Плохо имъ было безъ присмотра... Сталъ я искать себѣ жену и женился на сорокалѣтней вдовѣ. Бой эта баба— никакъ я не могу съ ней справиться: бьетъ меня. На ней ужъ я женатъ четыре года, и отъ нея родился еще сынъ.

А все жаль Офимьи. Славная она была сначала баба, да подвернулся ей плутина мастеровой—сбилась она спанталыка, и загубила себя. Можетъ быть, и не повѣсилась бы она, да я ужъ больно круто съ ней поступалъ. Бить бы не надо... Пусть бы она гуляла... Да непорядки ужъ больно у ней были... А теперь вотъ навернулась жена, за все бьетъ, какъ пьяный я напьюсь да говоритъ: — ты думаешь, что первую жену погубилъ, и всѣмъ такъ будетъ!.. Не на ту навернулся...

Теперь меня уволили изъ горнаго вѣдомства. Вольный я человѣкъ сталъ, ужъ никто не деретъ меня. Не хотѣлось мнѣ остаться полѣсовщикомъ, да подумалъ, подумалъ я: ремесла никакого не знаю, въ другую работу идти—много рабочихъ; такъ жить нельзя, потому, значитъ, у меня жена да дѣти... ну, и остался полѣсовщикомъ. Теперь ужъ жалованье даютъ, хоть небольшое да всеже можно биться, потому, значитъ, можно лѣсу продать, да съ порубщиковъ сколько-нибудь сдернуть, а начальство не увидитъ. Оно такое же все, только бить не смѣетъ: воля, значитъ. Только все-таки я человѣкъ маленькій, подначальный, а начальникамъ о нашемъ братѣ и горя мало: хорошо ты исправилъ свое дѣло — спасибо не скажетъ, а худо—обругаетъ, денегъ не дастъ, прогонитъ—и тачай слань...

III.

Три брата.

Есть у насъ старикашка такой: ростомъ не великъ, ходитъ сгорбившись, волосы посѣдѣлые, долгіе и постоянно встрепанные, и непремѣнно въ нихъ пухъ отъ подушки застрялъ, потому, значитъ, не чешетъ онъ ихъ никогда; лицо у него старое, постоянно красное, морщинистое такое, а веселое и глаза такіе бойкіе, да плутовски смотрятъ. Рѣдкій день его не увидишь у кого-нибудь: то онъ въ шашки играетъ да ругается, какъ проиграетъ шашки, если сухари ему останутся, или все бахвалится: «погоди ужо!.. погоди! Я те запру!..» То водку пьетъ въ какой-нибудь компаніи нашей братіи; то идетъ по улицѣ да пѣсни подпѣваетъ и съ бабами куры-муры строитъ; то въ бабки съ ребятишками играетъ; то разсказываетъ имъ, какъ онъ жилъ на свѣтѣ. Ходитъ онъ въ разной одеждѣ, какая ему вздумается; тепло когда—въ рубахѣ ходитъ; холодно когда—старенькій сюртучишка, съ двумя пуговицами напереди, надѣнетъ, да еще сверху халатъ надѣнетъ и опояшется полотенцемъ или какой-нибудь тряпкой. Шапки у него двѣ: одна какая-то смѣшная, съ одной половиной козырька, изъ двухъ сортовъ сукна, синяго и сѣраго, клиномъ сшита, а другая приличная фуражка съ цѣлымъ козырькомъ. На ноги онъ надѣваетъ зимой валенки, по-нашему пимы, кожей обшитые, да и пимы-то эти ужъ годовъ восемь существуютъ, потому на нихъ вездѣ заплаты на заплатахъ, а лѣтомъ калоши носитъ. Дома онъ ѣстъ да спитъ, да съ маленькими дѣтьми своего сына возится, да съ женой сына или съ сыномъ разговариваетъ, да дровецъ расколетъ, во дворѣ приберетъ, корову поглядитъ, да курицъ щупаетъ... Вотъ этого-то человѣка и зовутъ Степаномъ Еременчемъ Облупаловымъ. Живетъ онъ теперь ужъ годовъ пятьдесятъ на свѣтѣ, изваніе его до сихъ поръ мастеровой. Прежде онъ портнымъ былъ. Портнячалъ онъ не то, чтобы заправски, какъ настоящіе портные, а работалъ самъ собой, и шилъ нашему брату гуньки, а по-нынѣшнему халаты называются, да починивалъ ихъ, а доски надъ воротами или надъ окнами, какъ дѣлаютъ портные, съ нарисованными ножницами у него не было. Шилъ онъ не очень красиво, да крѣпко. Иная жена наша лучше бы его сшила: вѣдь шьютъ же онѣ себѣ да намъ рубахи, только значитъ халаты шить онѣ

сноровки не знали. Сошьетъ это Степанъ Еремеичъ халатъ или зипунъ,—ну, сначала и кажется ровно ничего, такъ и слѣдуетъ, и когда надѣнешь, халатъ на халатъ походитъ, а черезъ мѣсяцъ смотришь—тутъ дыра, тамъ дыра, подкладка отшилась, да все по швамъ, а не то, чтобы какъ-нибудь, нечаянно самъ изорвалъ о гвоздь или что иное. Вотъ и пойдешь въ этомъ халатѣ къ Степану Еремеичу, и кажешь ему и говоришь: «вотъ они дѣла-то твои разъѣхались!» А онъ и смѣется: «Ишь ты!..оказія какая. Ишь что стряслось!..Ну, оставь—починю: неси тожно на шкаликъ...» Наша братія потому давала ему шить, что въ нашей улицѣ онъ одинъ былъ портной, а другихъ городскихъ портныхъ мы не любили, потому, значитъ, плуты они—никогда намъ обрѣзковъ не давали и брали дорого, а Степанъ Еремеичъ былъ свой человѣкъ, бралъ дешево, и обрѣзки отдавалъ сполна, и поколотишь его—ничего, не осердится. Ничего и то, когда онъ чей-нибудь халатъ въ кабакѣ заложитъ: поколотимъ, а жаловаться не ходили и выкупали халаты. А халаты, скажу я тебѣ, у насъ вещь необходимая, самая заправская, украшеніе то-есть, потому, значитъ, мы шинели да пальты не носили—не по намъ, не любили: плюнемъ да бросимъ, даромъ не надо; халатъ одно слово халатъ: и въ будни и въ праздникъ надѣть не смѣшно, потому, значитъ, таковъ ужъ обычай, и въ немъ нашего брата за версту видать. Вотъ что! Такъ вотъ и занимался Степанъ Еремеичъ, и деньги получалъ отъ насъ, грѣшныхъ, и въ долгъ шилъ, послѣ водкой поили, а въ казну не работалъ—нанималъ. Только денегъ у него не водилось — пропивалъ. Больно ужъ онъ зашибалъ.

Кромѣ портнячества, онъ еще каменьями промышлялъ. Былъ у него такой человѣкъ пріятель, который покупалъ въ заводахъ и рудникахъ, или самъ находилъ каменья разные. Вотъ эти-то каменья онъ продавалъ въ городѣ разнымъ людямъ; да и Степана Еремеича ссужалъ ими, а Степанъ Еремеичъ изъ нихъ печати да бусы выдѣлывалъ и гранилъ ихъ на разные манеры, чему, какъ онъ самъ говоритъ, его еще отецъ выучилъ. Печати онъ продавалъ на рынкѣ; топазовыя по сорока коп. за штуку, а яшмовыя по тридцати коп. за штуку, а бусы по рублю за сто. И эти деньги у него рѣдко шли впрокъ — въ кабакѣ съ пріятелями пропивались. Всеже-таки онъ жилъ лучше прочихъ сосѣдей, потому, значитъ, у него деньги водились постоянно, и знакомыхъ урядниковъ у него было много, да одинъ квартальный ему какъ-то родней приходился.

Вотъ у этого-то Степана Еремеича и было три сына: Елисей, Тимоѳей и Максимъ, а дочерей Богъ не далъ. Росли они, какъ водится, росли какъ и я и всѣ прочіе ребята, и я съ ними постоянно игралъ на улицѣ. И выдѣлывали же они разные штуки да колѣна! Всѣ они ребята удалые были: держи ухо востро, не клади ничего близко — все перемуштруютъ да испакостятъ, не попадайся чужой навстрѣчу... Бестіи продувныя были, и никакіе страхи отцовскіе да людскіе ихъ не пробирали... И какъ это подумаешь: откуда у нихъ набиралось разныхъ выдумокъ да смѣтливости? Подивишься только. Чего-то они ни дѣлали, и наша братья, ребятишки, отъ нихъ не отставали. Особенно боекъ былъ на разныя штуки Елисей, самый большой. Онъ у насъ коноводомъ былъ. Только скажетъ: «ребя, айда коровъ мучить», и побѣжимъ за городъ съ гикомъ да лаемъ, и гоняемъ коровъ, бросаемъ въ нихъ каменья да палки, и любо намъ, какъ онѣ, голубушки, скачутъ, хвосты задравши, да заднія ноги высоко поднимаютъ. Или скажетъ: «ребя! айда на площадь мальчишекъ бить!» и побѣжимъ на площадь, поджидаемъ школьниковъ, а какъ завидимъ ихъ, — бросимся, приколотимъ. Елисей силенъ былъ: онъ десятерыхъ на землю клалъ. Много было на насъ жалобъ, да ничего съ нами не сдѣлаешь: мы еще хуже становились. Дома Елисей ничего не дѣлалъ—лѣнивъ былъ. Тимоѳея на 9-мъ году отецъ отдалъ въ ученики къ одному мастеру столяру и рѣщику, по контракту, безъ платы, а только мастеръ долженъ былъ одѣвать и кормить Тимоѳея, а Максимъ пріучался къ работѣ и на седьмомъ году ѣздилъ уже съ отцомъ въ лѣсъ по дрова и помогалъ кое въ чемъ матери.

Елисей не слушался и не боялся отца, хотя тотъ и билъ его. Онъ на тринадцатомъ году сталъ водку пить, и потягивалъ у отца каменья, за что отецъ водилъ его съ казаками въ часть и тамъ дралъ. Но Елисей, послѣ каждой дерки, выдумывалъ разныя штуки, и пакостилъ отцу. Степанъ Еремеичъ гналъ его изъ дома, а онъ не шелъ. Наконецъ-таки, на пятнадцатомъ году, забрали Елисея на работу въ гранильную фабрику. Елисею самому хотѣлось работать, ну и сталъ онъ робить тамъ каждый день, а ночью былъ дома.

У Максима былъ крестный квартальный, тотъ самый, что приходился родней какъ-то Степану Еремеичу, а какъ у квартальнаго были тоже знакомые люди горноправленскіе и другіе чиновники, потому, значитъ, квартальный, по-нашему, былъ важная птица въ колесницѣ, и командовалъ не только надъ нами, но и надъ прочими жителями города, то онъ и накачалъ Степану Еремеичу просьбу къ горному начальнику, что-де я прошу ваше высокоблагородіе взять моего сына Максима въ училище, и разныя разности тутъ приплелъ, и самъ сталъ просить горнаго начальника. Скажу я тебѣ, братецъ ты мой, что хотя по нашему положенію и было установлено такъ, чтобы дѣти, съ восьмилѣтняго возраста, брались въ школы, только это рѣдко бывало, потому, значитъ, что въ школы брали дѣтей богатыхъ отцовъ, да кто хлопоталъ объ этомъ или былъ знакомъ съ какимъ-нибудь начальникомъ; да и бѣдные мастеровые и рабочіе сами не отдавали дѣтей въ школы, потому, значитъ, хлопотать не стоитъ, да и сынъ дома больше научится работѣ, а тамъ избалуется. Вотъ я такъ и просилъ было лѣсничаго, чтобы онъ похлопоталъ, чтобы дѣтей моихъ приняли въ училище на казенный счетъ, да онъ мнѣ сказалъ: «не съ твоимъ, говоритъ, рыломъ туда соваться». Ну, и плюнулъ я, не сталъ просить больше. А у Степана Еремеича

квартальный былъ, протекція, значитъ; Максима и приняли въ окружное училище на казенный счетъ, и заперли его тамъ.

Теперь разскажу я тебѣ по порядку, какъ жили братья Облупаловы. Начну со старшаго Елисея.

Исторія объ Елисеѣ небольшая, да пакостная. Въ гранильной фабрикѣ онъ служилъ года четыре, и былъ уже два года женатъ, и сынишко ужъ былъ. Работа тутъ была легкая, и много дѣлать его не принуждали, а заставляли пріучиваться изъ-подъ тиха. Сначала онъ таки работалъ ладно, а потомъ связался съ какимъ-то работникомъ. Пойдутъ они изъ фабрики и напьются дорогой, а пьютъ на то, что стянутъ что-нибудь изъ фабрики и заложатъ въ кабакѣ. Придетъ Елисей домой и давай жену за волосы таскать. За тое Степанъ Еремеичъ пристанетъ. Ну, Елисей и уйдетъ куда-нибудь, и ищи его, семью собаками не разыщешь. Жена стала жаловаться начальству, мастерамъ да горному начальнику; сначала бабу гнали, а потомъ отодрали Елисея и усилили на него работы. Елисей не унялся: возьметъ какой-нибудь камень и вытащитъ его ночью за ограду, а какъ пойдетъ домой часу въ шестомъ, и уволокетъ его домой, а потомъ свезетъ къ одному торговцу, плуту, который воровскія вещи продавалъ. Смотрѣли, смотрѣли на Елисея, да и опредѣлили его на монетный дворъ, на такое занятіе: днемъ караулить на плотинѣ да выпускать и опускать съ прочими воду на фабрику, а ночью печки топить. Пировать ужъ тогда не на что ему было, развѣ кто свой товарищъ изъ жалости попотчуетъ. Часто трезвый былъ и дома; когда бывалъ (тверезъ), вѣжливъ былъ со всѣми, и жену не билъ. Она баба добрая была: когда онъ не приходилъ домой ужинать или обѣдать, она сама носила ему хлѣбъ и молоко, а когда и пироги съ говядиной да пельмени носила... Пословица говоритъ: побываетъ деготь въ посудинѣ, ужъ не выведешь его— такъ и Елисей нашъ былъ. Съ плотины онъ кручья срывалъ, да гвозди выдергивалъ и продавалъ ихъ все тому же торговцу, а изъ фабрики тайкомъ мѣдь таскалъ. Вотъ его и замѣтили разъ, какъ онъ гвозди выдергивалъ; сказали начальству. То приказало отодрать, и сослало въ рудники на какіе-то заводы. Увезли его туда съ женой и дѣтьми, и заперли въ рудникъ. Онъ-таки и оттуда удралъ, да прямо къ отцу. Вѣрно родимая сторонушка тянула. Ну, тотъ и раньше ему не радъ былъ, а теперь, какъ узнаютъ про Елисея, и ему не сдобровать; сказалъ, кому слѣдуетъ, и Елисея опять спровадили въ тотъ же рудникъ. Не унялся Елисей, опять убѣжалъ, да и сталъ грабить добрыхъ людей. Поймали его, сокола яснаго, судить стали, а потомъ сюда въ острогъ привезли. Люди говорили, что ему не миновать каторги. Отецъ такъ и попустился ему, хоть и досадно было и стыдно добрыхъ людей за сына. Однако, Елисей изъ острога убѣжалъ. Хорошъ молодецъ! Стали его искать, долго искали, а не нашли, такъ и попустились, только сквозь строй бѣдныхъ солдатъ прогнали. Вотъ что надѣлалъ, мошенникъ!

Прошло такъ года три съ небольшимъ. Нѣтъ о нашемъ Елисеѣ ни слуху ни духу. Жена его пріѣхала опять къ отцу, только безъ сына, умеръ, говоритъ; только не вѣрится. Куда ей одной съ ребенкомъ маяться: взяла, поди, его, родименькаго, прихлопнула дорогой, и баста... У Степана Еремеича она не стала жить, а пошла къ своей сестрѣ. Матери да отца у нея въ тѣ поры не было. Стала торговать съ сестрой калачами да пряниками около гостинаго двора и теперь все сидитъ то у плотины, то у главной конторы, то противъ горнаго правленія, на самомъ виду, оттого, значитъ, она сама говоритъ: «не увижу ли я своего мужа да хорошаго человѣка»... А Елисеюшка, братецъ ты мой, живетъ да живетъ себѣ въ Шарташѣ, въ четырехъ верстахъ отъ города! Диво! А, пожалуй, и дива-то нѣтъ никакого.

Въ четырехъ верстахъ отъ города есть Шарташское горное селеніе; оно застроилось одной улицей по берегу озера на двѣ версты. Прежде это озеро было огромное и глубокое, а теперь оно имѣетъ въ ширину и длину гдѣ четыре, гдѣ три, а гдѣ и двѣ версты. Глубина есть и пять саженъ. Съ самаго начала, въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь селеніе, былъ давнымъ давно раскольническій скитъ, и люда тутъ было много всякаго. Потомъ сюда переселили съ заводовъ непремѣнныхъ работниковъ и свободныхъ сельскихъ обывателей, за разныя разности и за расколъ. Вотъ люди-то эти и стали тутъ жить да плодиться, и селеніе названо Шарташскимъ. Изъ нихъ немногіе работали на казну, а большая часть жили свободно; иные платили повинность деньгами, а иные и такъ пробивались. Жить имъ тутъ можно было. Въ озерѣ было пропасть рыбы, рыбу эту они ловили и продавали въ городѣ, продавали разныя подѣлки: кадушки да ведра и прочее. Кромѣ этого, всѣ эти жители были злой народъ, страшные разбойники. Лѣтъ двадцать тому назадъ, по дорогѣ въ березовскій заводъ ночью боязно было ѣздить. Потому, значитъ, боязно: поймаютъ какого-нибудь барина или купца, завяжутъ ему глаза, приведутъ въ домъ, раздѣнутъ до гола, зарѣжутъ и бросятъ съ камнемъ въ воду. И поминай какъ звали, ищи въ водѣ, когда озеро тогда саженъ восемь было глубины и ширины верстъ на десять. А съ гостями-богачами или полицейскими чинами они такъ дѣлали. Накормятъ и напоятъ, что мое почтеніе, и спать уложатъ, а изъ дому не выпустятъ, такъ сонному и петлю на шею, задавятъ и бросятъ съ камнемъ въ озеро, или въ бочку да посолятъ. Бочки они хранили въ потаенныхъ мѣстахъ въ подпольѣ, и мѣста эти и воровскія вещи никто не могъ найти... Производить слѣдствіе боялись, потому раскольники сразу видѣли городскихъ, которыхъ они считали врагами и притѣснителями, и держали ножъ наготовѣ, и за одного всѣ стояли *).

*) Мнѣ разсказывали одинъ случай. По порученію главнаго начальника, одинъ чиновникъ долженъ былъ найти мертвыя тѣла въ селѣ. Чиновникъ этотъ имѣлъ свѣдѣніе, что одинъ шарташецъ больше всѣхъ занимается этимъ. Разъ вечеркомъ пріѣхалъ онъ въ село къ этому шарташцу въ видѣ купца, а солдатамъ заказалъ быть на улицѣ, не-

Наконецъ, начальство строго стало слѣдить за шарташцами, а главный начальникъ велѣлъ выпустить озеро, но они все-таки сдѣлали плотину, и озеро хотя и убавилось, все-таки осталось и въ немъ есть рыба. Теперь по дорогѣ смирно, только развѣ у кого-нибудь корова потеряется, а потерялась корова—кромѣ шарташцевъ некому упятить. Ночью, пожалуй, не ходи одинъ по заводу—ухлопаютъ. Всѣ, человѣкъ съ тысячу, они раскольники, и теперь и городскіе купцы ѣздятъ къ нимъ молиться въ дома. Теперь живутъ тамъ даже городскіе мѣщане и купцы. Въ селѣ хотя и есть единовѣрческая часовня, да въ нее рѣдкіе ходятъ, потому, значитъ, у нихъ въ домахъ подѣланы молельни, гдѣ общія, гдѣ въ-одиночку. Занимаются они теперь колотьемъ коровъ, и продаютъ въ городѣ рыбу и разныя вещи. Только между нашими городскими жителями есть много такихъ, которые не ѣдятъ шарташскую рыбу, а ѣдятъ съ Верхъ-исетскаго озера *). Шарташскую рыбу они называютъ поганой, потому, значитъ, по-ихнему, что-де тамъ въ озерѣ и теперь на днѣ тѣла тлѣютъ. Ну, а хорошіе да небрезгливые люди ѣдятъ и шарташскую, еще сами теперь рыбачатъ.

Прежде было въ славѣ село, а теперь въ славѣ озеро. Противъ села, на другомъ берегу озера, построено семь избушекъ съ подвалами. Въ нихъ живутъ зимой и лѣтомъ заправскіе рыболовы-мастеровые и мѣщане и рыболовятъ неводами, мережами, мордами, а иногда и удочками. Тамъ пропасть окуней и карасей, по фунту и больше каждый. Каждый рыболовъ имѣетъ двадцать или тридцать лодокъ. На лѣвой сторонѣ отъ этихъ избушекъ есть на берегу избушка шарташца; только туда городскіе не ѣздятъ, и шарташцы не любятъ городскихъ, сердятся, что они ихнюю рыбу удятъ, и даже драки съ рыболовами заводятъ. Лѣтомъ на озерѣ весело, потому на праздникъ да въ праздникъ или въ воскресенье тамъ бываютъ городскіе чиновники, купцы и прочіе, и барыни разныя, перебиваютъ на расхватъ лодки, пьютъ на берегу чай, и дѣлаютъ разныя разности. Лодки отдаютъ на сутки за 30 коп., а за полсутокъ по 13 коп.; прежде и по рублю брали. Любо посмотрѣть въ субботу или въ праздникъ въ хорошій день на берегъ и на озеро. На берегу около избушекъ, народъ копошится, суетится, бѣгаетъ, кто рыбу торгуетъ, кто жаркое изъ карасей ѣстъ, кто уху варитъ—слюнки только текутъ! Извозчиковъ тутъ пропасть, кислыхъ щей сколько, даже орѣхи есть. Собаки лаютъ, и кошки бѣгаютъ. А на озерѣ видимо-невидимо лодокъ, пѣсни непремѣнно задираютъ гдѣ-нибудь, и какъ разносится по воздуху! Хорошо... А ночью огней двадцать горятъ на берегу, сотни людей дремлютъ или что-нибудь разсказываютъ и дожидаются, когда солнышко взойдетъ... Ей-Богу хорошо!..

Заговорился ужъ я больно, братецъ ты мой! Нельзя, мѣсто ужъ такое. Горожанамъ нашимъ тутъ и отдыхъ, тутъ и развлеченіе, тутъ и жизни много, и поплавать есть гдѣ, а въ городѣ скука.

Годовъ этакъ восемь или семь, не помню, корова у меня пропала. Жена, говоритъ, въ поле выгнала, искала, искала, всѣ дворы обѣгала,—нѣтъ коровы. На рѣчкѣ, говоритъ, была, всѣ лавки обѣгала, всѣ головы коровьи осмотрѣла—и тамъ нѣтъ... Ну, и заплакала моя жена. А для нашей бабы корова все единственно, что мужчинѣ безъ лошади быть. Въ коровѣ у нея все богатство, вся утѣха. А корова-то была какая славная да тѣльная, ростомъ высокая, полная!.. Рублей пятнадцать серебряныхъ стоила, и вдругъ какъ ключъ въ воду канула... Эко диво! Жалко мнѣ стало жены, и самому досадно. Пошелъ къ сосѣдямъ, поразспросилъ самъ хорошенько: не видалъ ли кто буренка? Нѣту. Ну, и пошелъ въ Шарташъ, подъ видомъ благочестія, что я молъ корову хочу купить, а не то мясо прямо стягомъ парно. Вотъ обѣгалъ бойницъ съ десять—нѣту. «Эхъ досада!» думаю. Пошелъ по другимъ. Только въ одномъ мѣстѣ, хожу это, коровъ поглядываю—на живыхъ, какъ онѣ, голубушки, тоскливо мычатъ—жалость! да на заколотыхъ, да на людей, какъ тѣ, озорники, кожу сдираютъ, и запримѣтилъ знакомое лицо. «Что за дьяволъ!» думаю, Елисейко не Елисейко, а рожа, кажись, его, только бородой обросъ, да на лбу волоса подстрижены. Оказія, думаю. Какъ онъ сюда попалъ? Неужели ужъ раскольникомъ сталъ. Не утерпѣлъ таки я, подошелъ къ нему и говорю:

— Здорово, Елисей Степанычъ!

Онъ какъ окрысится на меня да зрявкнетъ:

— Какой тебѣ Елисей! Моисея не хочешь ли? Покажу... У меня ровно духъ въ пятки ушелъ. Испугался я, а не трусъ.—Тьфу ты, дьяволъ!—думаю... Экъ онъ.

— Аль не узналъ меня?—спрашиваю его.

— Кто ты: городской или здѣшній?—спрашиваетъ меня другой работникъ.

— Городской,—говорю.

— Ну, и проваливай, покуда цѣлъ.

примѣтно, и по свисту или крику его броситься въ домъ. Шарташецъ угостилъ его на славу, и велѣлъ ложиться спать, а окна затворилъ ставнями, и приперъ желѣзными болтами такъ плотно, что изъ дома не было никакой возможности выйти. Увидѣвши, что гость не раздѣвается, шарташецъ, наконецъ, велѣлъ ему раздѣться и лечь. „Я не хочу спать»,—сказалъ гость. «Какъ хошь. Только ужъ теперь не выйдешь». «Какъ?» «Такъ. Надо же тебя осолить». Шарташецъ вышелъ, затворивъ плотно дверь. Чиновникъ остался въ темнотѣ, и крикнулъ солдатъ. Всѣ окружили домъ, разломали двери и окна и арестовали шарташца. Когда стали его спрашивать, нѣтъ ли тѣлъ? онъ запирался. Всѣ углы и мѣста въ домѣ были перерыты и пересмотрѣны, и только въ чуланѣ усмотрѣли ходы въ подземелье. Тамъ нашли шесть бочекъ съ тѣлами. На спросъ, зачѣмъ они тутъ?—шарташецъ отвѣтилъ: «Продавать хотѣлъ за мясо».

*) Озеро это имѣетъ около десяти верстъ длины и версты четыре ширины. Оно называется прудомъ, потому что въ одной верстѣ отъ города запружено плотиной, Верхъ-Исетскаго завода г-дъ Яковлевыхъ. Изъ озера этого посредствомъ рѣчки накопляется вода въ городской прудъ, имѣющій длины болѣе версты и изъ этого-то пруда черезъ плотину и черезъ монетный дворъ выбѣгаетъ рѣка Исетъ.

Я опять-таки присталъ къ Елисею: все мнѣ поддѣлаться къ нему хотѣлось и говорю:

— А вѣдь вмѣстѣ прежде бѣгали?

— Знать тебя не знаю... Бѣгали! заставлю ужо я тебя бѣгать.

Ну, думаю, тутъ дѣло дрянь, надо убираться. Пошелъ изъ бойницы, и думаю: сказать про Елисейку начальству или нѣтъ?..

— Эй ты! чортъ! — закричалъ на меня Елисейка.

Я остановился.

— Куда ты теперь?

— Въ городъ.

— Небось жаловаться? Видишь это! И онъ показалъ мнѣ ножъ, коимъ коровъ колютъ.

Я и думаю: дѣйствительно пожаловаться худо, его-то я погублю, а онъ мнѣ—товарищъ; да и не погубишь если, потому, значитъ, онъ опять убѣжитъ въ Шарташъ, такъ самъ себя я сгублю, потому всѣ эти шарташцы больно мстительны и за своего брата такъ стоятъ, что на днѣ моря сыщутъ врага.

— Экой ты какой,—говорю я ему:—почто же я на своего товарища скажу? Да я, если кто на меня скажетъ, тому голову сворочу...

— Ну, такъ слушай. Придешь въ городъ—молчи. Значитъ: нашелъ—молчи, потерялъ—молчи.

— Ужъ не скажу, не безпокойся. Вотъ тебѣ рука. Ну, и подалъ я ему руку, и онъ далъ мнѣ свою, всю въ крови замаранную.

— А коли скажешь—бѣда, не скажешь—спасибо... Ну, теперь ступай.

— Вотъ что,—говорю я ему:—сдѣлай ты мнѣ, братецъ ты мой, службу. Самъ ты знаешь, человѣкъ я бѣдный, а у меня корову угнали съ поля.

— А какая твоя корова?

Я разсказалъ примѣты.

— Ну, ладно. Приходи ужо сегодня, ночью, на нашу дорогу, и жди въ одной верстѣ отъ села, и корову получишь. Только слово помни!

Я сказалъ спасибо и побожился, что не скажу.

Прихожу домой; и говорю женѣ: не нашелъ коровы. А она тѣмъ временемъ, къ ворожеѣ сходила, гривну мѣди издержала. Ворожея, говоритъ, сказала: «Твоя корова въ хорошихъ рукахъ, только не найдешь, потому, значитъ, къ купцу продана, и черезъ недѣлю найдешь этого купца, да онъ не отдастъ». Ну, я бабу свою выругалъ, что только деньги даромъ тратитъ: мало ли что эти ворожеи врутъ? А жена меня выругала. Вотъ, часу въ десятомъ ночи, и пошелъ я къ Шарташу, и спрятался. Жду, пожду часъ и два — нѣтъ коровы. Досадно стало, что я топора съ собой не взялъ, хоть бы лѣсу порубилъ. Покуриваю махорку, и бранюсь: вѣрно, лѣшій, обманулъ. Все-таки сталъ ждать и задремалъ было. Только, слушаю, хруститъ гдѣ-то. Встаю и вижу: корова недалечко стоитъ. Я пошелъ—моя корова, а изъ людей никого нѣтъ. Корова, какъ увидала меня, такъ и пошла ко мнѣ и мычитъ жалобно—узнала, значитъ, хозяина; чувствовала вѣрно себѣ конецъ. Ну, и пригналъ я ее домой, обрадовалъ жену; пожалѣла она гривенника, и выругала позаочь ворожею. А про Елисейка такъ никому и не сказалъ. Не мое значитъ дѣло. Значитъ нашелъ—молчи, потерялъ—молчи, шито да крыто...

Все бы это еще туды-сюды, да вотъ я, хорошій человѣкъ, хотя и много книгъ разныхъ вычиталъ, а понять не могу, нужды нѣтъ, что не молодъ ужъ: отчего это люди не могутъ жить, какъ должно? По-моему, живешь ты да худо тебѣ, ну, и старайся, чтобы не было худого, и самъ не дѣлай худого; хорошо—и слава Богу. Такъ нѣтъ. Елисейко, какъ видно, тамъ хорошо жилъ, потому раскольники хорошо держатъ бѣглыхъ: мучениками да святыми ихъ считаютъ; мало, вишь ты, ему этого было; поясница у него чесалась... Пропащая, право, голова... Вчужѣ жалость беретъ...

Ѣздилъ туда каждое воскресенье изъ города купецъ одинъ. Купецъ этотъ въ городѣ незнатенъ былъ, жихмора такая былъ и съ женой-то своей, потому, значитъ, денегъ у него чертова пропасть была, а отчего была—Богъ зналъ да онъ самъ. Вотъ у этого купца и жилъ кучеръ да стряпка мастерская баба, какъ-то еще родной приходилась Степану Еремеичу. Кучеръ да стряпка между собой таскались и вздумали обокрасть купца, да и уѣхать съ денежками куда-нибудь далеко и обвѣнчаться, потому уѣхать: у кучера была жена, да онъ не жилъ съ ней. Разъ лѣтомъ, Елисейка и подговорилъ кучера вмѣстѣ украсть деньги. Ужъ какъ согласился кучеръ—не знаю, вѣрно потому, что ему стряпка надоѣла, и онъ ухлопать ее захотѣлъ. Ну, вотъ, какъ только кучеръ привезъ въ село купца съ женой, и маршъ къ Елисейку, а тотъ мигомъ, запрягъ лошадь въ телѣгу, и маршъ съ кучеромъ въ городъ къ стряпкѣ. Стряпка узнала Елисейку, заартачилась было, что тутъ еще третій; ну, они, соколики, не говоря ни слова, и ухлопали ее. Потомъ пошли въ комнаты, разломали ящики, и забрали всѣ деньги. Вотъ Елисейка, не будь трусъ, и зашибъ кучера тутъ же въ комнатахъ, у ящика—подѣломъ, значитъ вору и муки; забралъ денежки, и поѣхалъ на лошади въ село. А когда онъ выѣзжалъ, его многіе мастеровые видѣли и узнали. Онъ струсилъ было, но доѣхалъ только до лѣсу, отпрягъ лошадь и верхомъ укатилъ въ село; тамъ денежки и припряталъ.

Ну, какъ водится, началось слѣдствіе, спросы да допросы, пошли догадки, что вѣрно шарташецъ какой-нибудь ухлопалъ стряпку и кучера, стали сосѣдей спрашивать—ничего не добились, а мастеровые молчали, потому, значитъ, скажи, такъ засудятъ: отчего-де не ловили? А имъ что ловить—не ихъ грабятъ, да они и не знали, что онъ грабилъ, а думали вѣрно прощенъ, или въ бѣгахъ находится—не важность. Своего брата и выдать грѣшно. Ну, если бы знали, что онъ убилъ, тогда бы, мое почтеніе, сцапали бы, потому, значитъ, убійство грѣхъ великій. Прошло полгода, Елисейка прижался, сидитъ дома. Но мѣшка въ шилѣ не утаишь. Разъ онъ поссорился съ своимъ хозяиномъ за то, что тотъ его гнать сталъ. «Ты, говоритъ, не нашего поля ягода, ступай вонъ!» Давай, — гово-

ритъ Елисейка,—деньги.—Какія деньги? Ну, завязалась баталія. Елисейка ухлопалъ и этого раскольника, и деньги зарылъ куда-то далеко, а при себѣ оставилъ тысячу, потомъ ушелъ къ знакомому раскольнику. Хозяинъ Елисейки былъ уважаемый человѣкъ безпоповщинской секты, а Елисейка перешелъ теперь на сторону поповщинской секты; безпоповщинцы пожаловались на него въ городъ, и обвинили въ убійствѣ кучера и стряпки, потому, значитъ, что многіе небогатые раскольники знали про это; поповщинцы разругались съ безпоповщинцами, и сказали полиціи, нѣтъ у насъ Облупалова, а онъ на той сторонѣ *). Однако таки безпоповщинцы схватили тайкомъ ночью Елисея, завязали ему глаза, связали руки и ноги, и привезли въ городъ.

Опять началось слѣдствіе. Потянули раскольниковъ къ суду—тѣ откупились, и принялись за одного Елисея.

Стали спрашивать Елисейку: кто ты такой?

— Православный, говоритъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Не знаю. Ну, и сказался непомнящимъ родства. Позвали отца. Отецъ говоритъ: это Елисей, сынъ мой.

— Знать я тебя не знаю.

Позвали мать—тоже. Никого не признаетъ.

Сколько людей перетребовали — не знаю, да не знаю, говоритъ, мало ли лица сходятся!.. Слава Богу, что меня не потребовали. Я въ то время въ лѣсу былъ, на кордонѣ, и больнымъ прикинулся.

Стали спрашивать про убійство. Не знаю ничего. А старика—раскольника не я, говоритъ, убилъ: меня дома не было. Отъ всего отперся, отъ всѣхъ отрекся. Вотъ такъ человѣчекъ! Не видывалъ я такого и не видать ужъ,—времена нынче не тѣ.

Все-таки какъ онъ ни отпирался, а приговорили его, какъ настоящаго разбойника, ко ста ударамъ плетьми и въ каторжную работу на вѣки вѣковъ. Назначили день, когда его будутъ наказывать на площади. Много собралось людей: былъ тутъ и Степанъ Еремеичъ съ женой, и братъ Тимофей, и я, и множество знакомыхъ. Всѣмъ значитъ, хотѣлось посмотрѣть на него, каковъ онъ будетъ, и что съ нимъ случится. Вотъ принесли его на дрогахъ, прочитали приговоръ; онъ и говоритъ: «знать не знаю, безъ вины меня наказываете». Антихристомъ еще попрекнулъ, какъ будто и въ точь настоящій раскольникъ. Вотъ привязали его къ столбу, а онъ и ругается: «Что шары-то пялите!.. Рады смотрѣть какъ люди мучатся!.. Будете, окаянные, во огнѣ горѣть на томъ свѣтѣ»!.. Народъ стоитъ да улыбается, а бабы плачутъ: не вѣрится, видишь ты, имъ, что это Облупаловъ, а можетъ и онъ; можетъ и понапрасну. Были тутъ и раскольники: тѣ вѣрили словамъ Елисейки, и ворчали, что его безъ вины обвинили.

Вотъ палачъ положилъ его, а онъ смѣется: «ничего!»

— Я те дамъ ничего!—сказалъ палачъ и хлеснулъ по немъ трехвосткой.

— Аля-ля! Жарко! Вотъ бы тебя пробрать!..— указываетъ онъ на ту сторону, гдѣ отецъ его.

Палачъ хлещетъ по немъ изо всей силы, полицеймейстеръ кричитъ: «шибче! шибче! шибче его, каналью!»... Ударъ за ударомъ сыплется на Елисея. Онъ сначала ругался, крѣпился, а потомъ невтерпежъ стало...

— Охъ, не могу!.. Будетъ!..—кричитъ онъ.

— Дери его, каналью; до-смерти дери!—кричитъ полицеймейстеръ.

— Уйди, отецъ!.. Уйдите... Жена...—стонетъ Елисей. Жалости подобно, какъ все это было. Отецъ плакалъ, мать плакала, жена его тоже; мнѣ тоже жалко было, и я заплакалъ; многіе жалѣли его, и никто не шелъ домой...

А онъ кричитъ: ваше высокоблагородіе! помилосердствуйте!..

— Матушки мои... Голубчики... Уйдите съ глазъ... Охъ тошно!..—Отецъ съ матерью ушли домой...

Когда кончилъ палачъ сто ударовъ, Елисея подняли съ эшафота едва живого, положили на рогожку и увезли въ больницу. Тамъ онъ прожилъ только полсутокъ, ругался и когда умиралъ, то, говорятъ, все ругалъ кого-то.

Такъ-то вотъ кончилъ собой Елисей. Безшабашная голова!.. Ну, да ладно, что умеръ, хоть не мучится больше, а то бы опять не миновать эшафота. А деньгами его, говорятъ, сталъ пользоваться раскольникъ одинъ, съ коимъ онъ дружёнъ былъ, и коему сказалъ, что онъ дорогой убѣжитъ съ каторги, и съ нимъ уйдетъ въ лѣса, къ одному раскольнику, коего никто изъ полицейскихъ не могъ разыскать, а онъ свободно ходилъ по заводу... Можетъ-быть, онъ тогда и очувствовался бы, только врядъ ли... Все бы ему не сдобровать, потому, значитъ, ужъ ему на роду было написано умереть такою смертью...

Тимоѳей былъ парень прилежный къ работѣ, смышленый, и потому скоро выучился дѣлать все, что дѣлалъ мастеръ и его работники. Мастеръ любилъ его больше всѣхъ еще и за то, что онъ не пьянствовалъ съ товарищами и, когда получалъ деньги, то копилъ ихъ себѣ, и не давалъ Степану Еремеичу. На девятнадцатомъ году мастеръ сдѣлалъ его подмастерьемъ, помощникомъ себѣ и жалованье большое далъ. Сталъ Тимоѳей сюртукъ носить да пальто, и съ нашей братьею важничалъ. За это мы его не полюбили и прозвали обдергунчикомъ, потому, значитъ, не любили мы тѣхъ, что пальты да сертуки носятъ, а какъ одѣлся эдакъ Тимка, какъ называли, Тимофея Степаныча, мы изъ дивъ диву дались: значитъ гордый сталъ, заважничалъ, отъ насъ отдалился; обидно было. Ну, вотъ онъ сошелся съ

---

*) Дома въ селѣ построены только по одной улицѣ, по обѣимъ ея сторонамъ. На одной жили поповщинцы, на другой—безпоповщинцы, и между ними шла вражда.

дочерью хозяина. А хозяинъ хотя и любилъ его, всеже считалъ своимъ работникомъ, и дочь мѣтилъ за одного чиновника и сговоръ сдѣлалъ ужъ. Только дѣло это долго длилось, и штука вышла. Сваха чиновника замѣтила, что у невѣсты не ладно, и какъ она раньше не доглядѣла, ужъ не знаю: на деньги, видишь ты, позарилась. Ну, узналъ объ этомъ женихъ, отказался, просьбу хотѣлъ написать, что его обидѣли. Уменъ, видишь ты, больно былъ чиновникъ, а еще нашъ горный. Все-таки взялъ съ мастера ни за что дику-пошлину. Отецъ со злости прогналъ Тимоѳея Степаныча, и дочь прогналъ. Тоже уменъ былъ. Въ городѣ заговорили про это всѣ разно, и Офимьѣ Ильинишнѣ, какъ дочь звали, нельзя и показаться было на улицѣ: застыдятъ и приконфузятъ. Ну, у Тимоѳея Степаныча были деньги, и онъ, съ грѣхомъ пополамъ, обвѣнчался таки съ Офимьей. Свадьба такая скучная была, ровно не свадьба: народу никого не было. Да оно и лучше, потому значитъ никто не видитъ да не судитъ, а то всякъ лѣзетъ, и самъ не знаетъ зачѣмъ. Глупо ужъ больно, да и смотрѣть-то нечего; дѣло обыкновенное. Сначала Тимоѳей Степанычъ къ отцу пошелъ жить. Тогда ужъ не было въ городѣ Елисея. Ну, сталъ жить да работать столы, стулья, диваны и разныя штуки вырѣзывалъ на деревѣ. Жилъ эдакъ года два и подкопилъ деньжонокъ. Надоѣло ему съ отцомъ да матерью жить, ушелъ онъ съ женой на квартиру и работника отъ тестя перезвалъ. Тѣмъ временемъ ему мѣсто въ городѣ отвели, строить домъ велѣли, мастеровымъ его назвали. Вотъ и сталъ строиться Тимоѳей Степанычъ. Навозилъ я ему бревенъ за тридцать рублей, да камню онъ еще прихватилъ и въ два года состроилъ полукаменный домъ такой, что любо. Внизу онъ устроилъ мастерскую и еще троихъ работниковъ отъ тестя перезвалъ, далъ имъ по десяти рублей и кормить сталъ на свой счетъ, а у тестя они по шести рублей жили. Вверху было комнаты четыре; тамъ онъ самъ сталъ жить. Пробойный былъ парень. Онъ всячески старался найти работу, дѣлалъ на отличку, и его завалили. Кромѣ того его заставляли работать что-нибудь на гранильную фабрику и монетный дворъ, и мастеромъ назвали. А какъ четырехъ работниковъ ему мало было, то онъ еще кое отъ кого перехватилъ самыхъ лучшихъ да трезвыхъ, и пошла работа. Тимоѳей Степанычъ зазвалъ и отца съ матерью къ себѣ жить, потому значитъ ему экономію хотѣлось соблюсти: прислуги онъ никакой не держалъ, къ тому же у него и дѣти были. Онъ говорилъ про отца: «пусть живетъ, что ему тамъ дѣлать? За готовый хлѣбъ онъ и за водой можетъ сходить, а мать стряпать да водиться съ дѣтьми можетъ, не великая барыня»... Степанъ Еременчъ этого не слыхалъ, а если бы слышалъ—не пошелъ бы къ сыну. Онъ хотя и старъ становился, хотя и былъ смѣненъ его квартальный, (покровительствовавшій ему) а все еще портнячалъ, и значитъ не нуждался въ сыновнихъ хлѣбахъ. Ну, а коли сынъ проситъ за водой сходить, отчего не сходить, не уважить хоть бы жены его. Ну и сталъ онъ поживать у сына. Занятіе его было въ томъ, что онъ кололъ дрова, топилъ печки, воду носилъ, въ лѣсъ ѣздилъ, да въ покосъ, да дѣтей сына покачаетъ, а портнячать ужъ не сталъ, надоѣло, да некогда было, къ тому же въ это время портныхъ вездѣ много развелось, оттого, значитъ, наши же мастерскія да работническія сыновья выучились у разныхъ мастеровъ и стали работать кто сообща, кто въ-одиночку, и работали кто на отличку, кто такъ же, какъ и Степанъ Еременчъ. Вотъ поэтому-то, да какъ стали мальчики взрослыми, ему и не давали работы, потому, значитъ, народъ щеголять сталъ, а Степанъ Еременчъ по старинкѣ шилъ. Въ свободное время, особенно послѣ обѣда до ужина, онъ если не спалъ, любилъ съ работниками внизу побелентрясить да похвастаться, что онъ на свѣтѣ много видовъ разныхъ видѣлъ, много хорошаго сдѣлалъ, лучше теперешняго жилъ, лучше многихъ жилъ. Словомъ, я-съ-то не я-съ-то, стою рублевъ полтораста.

Сидитъ это онъ съ трубкой на табуреткѣ или на верстакѣ и говоритъ:

— Нѣтъ ужъ, братъ, шалишь! Вотъ кто молодецъ—такъ это я: что я ни начну дѣлать, все выйдетъ хорошо, а у васъ сноровки нѣтъ... Вы у меня учитесь...

— Полно тебѣ турусы на колесахъ разводить. Ну, скажи, что ты хорошаго сдѣлалъ?—говоритъ одинъ работникъ.

— Ахъ, ты! Почну я тебя щепать вотъ этой доской,—сердится Степанъ Еременчъ. Всѣ, знаешь, хохочутъ.

— Не тронь его, братцы! Онъ на вонъ тараты халаты шилъ.

— Ахъ, ты сволочь! Небось, получше твоего... Ишь какой зубоскалъ!..

— Ну ужъ шить и теперь не умѣешь.

— Варнакъ ты, варнакъ, какъ я погляжу; въ Сибири песъ вѣрно не бывалъ! — Злится Степанъ Еременчъ, а изъ мастерской нейдетъ. Его пуще злятъ.

— И жилъ-то ты какъ? Начальство обманывалъ.

— Ну, братъ, шалишь. Кто начальство обманетъ, семи денъ не проживетъ. Экъ ты къ слову что сказалъ! А ты скажи, какъ твой отецъ-то жилъ?

— Что мой отецъ? Мой отецъ жилъ, какъ и всѣ прочіе грѣшные.

— То-то оно и есть... Губа-то не дура, вѣрно...

Больше всего любилъ онъ похвастаться Тимоѳеемъ Степанычемъ.

— А пошто ты у него въ работникахъ живешь?

— Какой я работникъ? Кабы я жалованье получалъ, былъ бы работникъ. Сыну, братъ, я не работникъ, а потому управляю, что скука беретъ безъ дѣла жить.

Степанъ Еременчъ былъ человѣкъ простой и любилъ, какъ говорится, душу отвести съ ребятами да побраниться, и никакихъ дракъ изъ-за худыхъ словъ не заводилъ, и не сердился ни на кого. Любилъ онъ также и кутнуть съ ними въ воскре-

сенье, когда они были свободны отъ работы, и кутилъ на ихъ счетъ. Ребята его любили и звали дѣдкомъ. Это имя ему нравилось, а если кто называлъ его старикомъ—онъ ругался, и его почти каждый день дразнили старикомъ.

Жена у Тимоѳея Степаныча была красивая да здоровая баба, только надъ своею братіею гордилась, потому, значитъ, живутъ они хорошо, и мужъ мастеръ. Зазналась, значитъ. Дома она только носки вязала да стряпала что-нибудь послаще. Отца Тимоѳея Степаныча она пьяницей обзывала, а мать—дармоѣдкой. У Тимоѳея Степаныча въ шесть лѣтъ было уже три ребенка, да двое умерли. Нечего сказать, таки плодлива наша братія, потому, значитъ, мы люди здоровые. Вотъ жена Тимоѳея Степаныча и стала заставлять свекровь съ дѣтьми возиться, корову доить да стряпать. Возиться съ дѣтьми старухѣ было подъ стать—сама своихъ троихъ вынянчила, и теперь любила внучатъ, а корову доить тоже она любила, но стряпать да иное что дѣлать уже не подъ силу ей было. А Тимоѳей Степанычъ скупой былъ. Онъ такъ жиморился, что работниковъ кормилъ худыми щами, и денегъ имъ не давалъ, а попробуй кто прійти къ нему вгости—ничего не подастъ, тотъ такъ посидитъ да и уйдетъ. Ну для чиновниковъ да купцовъ онъ таки покупалъ полштофикъ, и послѣ долго ворчалъ, что вотъ сколько денегъ истратилъ. И жена такая же была, даже хлѣбъ назаперти держала, и ключи у нея постоянно въ карманѣ были.

Вотъ старуха-мать Тимоѳея Степаныча и поругалась съ молодой бабой, цѣлый день ворчала.

Тимоѳей Степанычъ не любилъ, какъ отецъ просилъ у него каждый день на косушку да на шкаликъ.

— Тимко! Дай-ка мнѣ на косушку.

— Да что вы, тятенька, разорить что ли меня хотите?

— Ну, дай. Отъ гривенника или семигривенника не разоришься.

— Да что я, по-вашему, богачъ, что ли какой?

— Ну ты не разговаривай, а дай?

Тимоѳей Степанычъ не всегда давалъ сразу, и тогда Степанъ Еремеичъ юлилъ около сына: «какой ты у меня сокуръ ясный! Голова-то у тебя—умъ!.. А выпить, значитъ, надо, спину разломило». Тогда Тимоѳей Степанычъ давалъ денегъ. Не нравилось и больно не нравилось сынку то еще: придетъ кто-нибудь къ нему вгости—а у него много было знакомыхъ богатыхъ и знатныхъ—ну, попъ ли, чиновникъ ли,—отецъ ужъ тутъ, какъ тутъ. Сынъ-хозяинъ въ сюртукѣ, а отецъ въ халатѣ и дымитъ махоркой. Это еще ничего, такъ нѣтъ, онъ еще разводитъ турусы на колесахъ: что-нибудь вретъ, себя да сына хвалитъ, а если видитъ на столѣ водку, пьетъ безъ приглашенія, и одинъ всю выпьетъ. Значитъ, забралась ворона въ высокіе хоромы, посади козла за столъ, онъ и лапы на столъ. Потому, значитъ, Степанъ Еремеичъ такъ дѣлалъ, что простой былъ, со всѣми одинаковъ, всѣхъ въ дому считалъ равными, никого не боялся, да и считалъ себя старше сына. А если его, пьянаго, упрекнетъ кто-нибудь, онъ выругаетъ, а пожалуй и приколотитъ. Вотъ сыну и досадно было и называлъ онъ Степана Еремеича невѣжей. Потомъ обзывать сталъ въ глаза и говорилъ, что у него свой домъ есть. А Степанъ Еремеичъ не шелъ отъ него; ему не хотѣлось съ ребятами-работниками разстаться, да и лучше казалось жить у сына, а въ своемъ домѣ скучно и опять надо портнячать. Вотъ онъ и говорилъ сыну.

— Свинья что ли я тебѣ? кто я?.. Ты мнѣ сынъ, я тебя выростилъ.

— Не ты выростилъ, добрые люди, — говорилъ Тимоѳей Степанычъ.

— Врешь!—И отецъ лѣзъ колотить сына.

— Ужъ я не позволю себя бить.

— Не дозволишь? А если я тебя въ полицію свожу?.. Отлуплю если?..

— Далеко кулику до Петрова дня.

И Тимоѳей Степанычъ уходилъ. Однако эти разговоры были только тогда, когда Степанъ Еремеичъ былъ пьянъ, буянилъ да бросалъ на полъ все, что подъ-руку попадало.

Не лучше Тимоѳей Степанычъ былъ и съ тестемъ. У тестя было еще двѣ дочери, изъ коихъ одна была замужемъ за чиновникомъ, а другая еще дѣвушка. Изъ сыновей одинъ былъ урядникомъ, другой—мастеровымъ, да съ нимъ жили еще двое. Денегъ у него не водилось, потому, значитъ, зашибать онъ любилъ, и таскался съ какой-то бабой, хотя и жена у него жива была. Послѣ того, какъ ушелъ отъ него Тимоѳей Степанычъ, да отошли отъ него самые лучшіе работники, и остались у него пьяницы, работа у него остановилась, а если работали, то не къ сроку и некрасиво. Работу возвращали и заказывали другому мастеру или Облупалову. Подъ конецъ тесть и руки опустилъ, не сталъ смотрѣть за рабочими, которые пьянствовали да впередъ деньги просили и работали на себя, потомъ и ушли отъ него. Тесть обѣднѣлъ, и домъ у него описали за долги. Пошелъ онъ къ зятю; тотъ и говоритъ: у меня свое семейство; далъ ему двадцать пять рублей, а въ домъ не принялъ. Вотъ тестюшко и пошелъ самъ въ работники къ другому мастеру да сталъ ругать зятя...

Это еще цвѣточки, а ягодки впереди!

Однажды, лѣтомъ, въ какой-то праздникъ, Тимоѳей Степанычъ ушелъ съ женой да съ двумя старшими дѣтьми къ одному знакомому на именины. Дома остались Степанъ Еремеичъ и его жена. Старушка поводилась съ дѣтьми, заказала Степану Еремеичу не уходить изъ комнатъ, а сама ушла въ свой домъ посмотрѣть, какъ капуста ростетъ на просторѣ. И съ собой манежку взяла, для того, значитъ, чтобы поѣсть тамъ. Ну, вотъ остался Степанъ Еремеичъ одинъ въ комнатахъ. Подойдетъ къ кровати, пощупаетъ перину: «ишь какъ баско да мягко! Я никогда такъ не спалъ. Лечь разѣ!»—говоритъ. Подойдетъ въ другой комнатѣ, на стѣну поглядитъ: «Эко у него одежи-то сколько! Баско! А мнѣ, небось, не удѣлитъ»... Подошелъ къ столу, отворилъ столешницу—двѣ гривны лежатъ: «Взять развѣ?.. Ну, ихъ Богу! Лучше попрошу ужо». Ну,

походилъ, походилъ такимъ манеромъ съ полчаса, скучно стало, пѣсню какую-то затянулъ, не поется. «Выпить бы, задралъ бы не лучше екатерининскаго дьячка!..» Легъ на кровать—мягко... «Ишшо изомнешь... Скажутъ не на свое мѣсто залѣзъ»... Сошелъ съ кровати, закурилъ трубку, да посмотрѣлъ на портретъ какой-то; скучно все было. «Дай схожу не надолго внизъ. Что-то ребята дѣлаютъ? Да кого-нибудь сюда притащу въ шашки поиграть». Ушелъ внизъ, а тамъ кутятъ ребята. Одинъ работникъ именины справлялъ. Ну, и подалъ ему работникъ стаканъ, потомъ другой... Степанъ Ереемичъ захмѣлѣлъ, заплясалъ и про всѣхъ забылъ. Выпилъ еще стаканъ и уснулъ на верстакѣ...

Пришли домой Тимоѳей Степанычъ и жена съ дѣтьми: въ комнатахъ ни души нѣтъ, дѣти плачутъ, а около сундука половики сбиты. Поругалась жена Тимоѳея Степаныча, что и чуть не хочутъ посидѣть дома, и стала отпирать замокъ сундука. Платье, вишь ты, ей нужно было положить да платокъ шелковый. Вертитъ это ключемъ въ замкѣ, вертится ключъ во всѣ стороны... Что за оказія? думаетъ жена Тимоѳея Степаныча. Взялась за крышку—крышка отворилась; въ ящикѣ все перерыто. Хватилась она въ одинъ уголъ—нѣтъ двухъ сотъ рублей. Позвала Тимоѳея Степаныча, который было спать легъ. Тотъ удивился, озлился, и оба порѣшили: непремѣнно отецъ либо мать взяли. Не даромъ ихъ и нѣтъ...

Пошелъ Тимоѳей Степанычъ въ мастерскую, тамъ спитъ Степанъ Еремеичъ, храпитъ на всю ивановскую, и двое рабочихъ тоже спятъ, значитъ, пьяные. Прочіе работники въ карты играютъ. Спрашиваетъ онъ ихъ: отчего отецъ пьянъ? Его, говорятъ, именинникъ угостилъ. Имянинникъ былъ трезвый парень, тоже сказалъ и осмѣялъ еще старика. Спросилъ онъ про свою мать—сказали домой за чѣмъ-то ушла.

— Ничего она не несла?

— Узелокъ маленькій,—сказали они.

Вотъ Тимоѳей Степанычъ и подумалъ на мать, да на отца. «Они это состряпали. Сговорились обокрасть меня», и сейчасъ пошелъ въ полицію, а работникамъ ничего не сказалъ. Изъ полиціи живо отправились, кромѣ Тимоѳея Степаныча, казаки и квартальный въ домъ Степана Еремеича, перерыли тамъ все, переломали чашки кое-какія и ни одной копейки не нашли. Вошли въ огородъ. Старушка сидитъ себѣ между грядами, мурлычитъ какія-то божественныя пѣсни и вытеребливаетъ траву около моркови. Передъ ней на платѣ недоѣденный ломотокъ сдобной шаньги лежитъ.

— Вотъ она, проклятая! — сказалъ одинъ казакъ.

— Вишь она деньги зарываетъ, — сказалъ другой.

Старушка, какъ услыхала это, испугалась, встала, ротъ разинула и стоитъ, какъ чучело, что въ огородахъ стоятъ.

— Рой огородъ!—кричитъ квартальный.

Толкнули старуху въ сторону, руки ей скрутили и стали копать гряды. Плачетъ старуха, ругается, что ея родное тормошатъ...

А у нашихъ бабъ, скажу я тебѣ, хорошій человѣкъ, огородъ любезная штука — все равно, что садъ у барынь. Каждая баба не можетъ жить безъ огорода: такъ ужъ она съ дѣтства привыкла. Она и гряды сама скопаетъ, и уладитъ ихъ, и сѣмянъ насадитъ, и чучелу сдѣлаетъ, чтобы птицы, озорники, не поклевали ея родное. Она смотритъ да любуется, какъ капуста да морковь, или кое-что, хорошо растутъ; каждый день два раза поливаетъ гряды да траву, которая мѣшаетъ расти овощамъ, выдергиваетъ, будь хоть тутъ вечеромъ мошки и комары, которыхъ у насъ много. Сколько ссоръ бываетъ изъ-за огородовъ, если чья чужая коза попадетъ въ него. Она сама съ дѣтьми уберетъ овощи, и не налюбуется, когда свою капусту рубитъ, своя картофель во щахъ и въ жаркомъ и своя рѣдька... А тутъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, гряды копаютъ, среди лѣта. Вотъ те разъ!.. Воетъ старуха, понять не можетъ, что бы это такое значило, ругается: «я самому... самому главному пожалуюсь... анаѳемскіе вы, такіе сякіе»...

— Куда ты деньги дѣла? — спрашиваетъ ее квартальный.

Старуха ничего не понимаетъ.

— Тебя спрашиваютъ?

— Погоди, разбойникъ! Подамъ я те деньги... Сейчасъ пойду къ главному...

Много сосѣдей собралось.

— Тебя спрашиваютъ: куда ты деньги дѣла?

Квартальный такъ ее ударилъ, что она упала. Сосѣди вступились за нее. Квартальный видитъ, что, пожалуй, его еще и прибьютъ, отправилъ ее въ часть. Стали спрашивать старуху; она едва поняла, въ чемъ дѣло-то; ругать стала сына; ее въ острогъ спровадили. Спрашивали и Степана Еремеича; тотъ только ахнулъ да сына обругалъ, и его въ часть посадили. Такъ они и сидѣли съ двѣ недѣли. Всѣ ихъ жалѣли да дивились на Тимоѳея Степаныча.

А воръ-то настоящій былъ подмастерье Тимоѳея Степаныча. Онъ ужъ двѣ недѣли пьянствовалъ и ходилъ на работу рѣдко. Вотъ за нимъ и стали примѣчать работники да выспрашивать цѣловальника. Ну, и узнали, что онъ вотъ ужъ вторую недѣлю съ деньгами ходитъ. Работники сказали Тимоѳею Степанычу, тотъ донесъ на него полиціи, полиція нашла при немъ двадцать рублей. Стали спрашивать: гдѣ деньги взялъ—запираться сталъ: нашелъ, говоритъ. А какъ стали драть и разсказалъ, что когда Степанъ Еремеичъ пьянствовалъ въ слесарной, онъ вошелъ въ комнаты, разломалъ замокъ, и взялъ деньги...

Ну, старушку и Степана Еремеича выпустили, только старуха сумасшедшею вышла изъ острога, а Степанъ Еремеичъ полоумнымъ сталъ. Старушка каждый день ходила къ главному начальнику съ жалобой, что ее обидѣли, огородъ испортили, да надоѣла она всѣмъ, въ богадѣльню и отправили ее. Степанъ Еремеичъ лучше сдѣлалъ. Онъ разсказалъ главному начальнику на Тимоѳея Степаныча

все, какъ было, и просилъ только, чтобы онъ приказалъ отодрать его, мошенника, да пуще... Ну, главный начальникъ и велѣлъ отодрать на гауптвахтѣ Тимоѳея Степаныча. Жарко было... А онъ толстѣть только-что начиналъ...

Степанъ Еремеичъ не пошелъ уже къ Тимоѳею, хотя тотъ и звалъ его къ себѣ, а бился у сосѣдей, потому, значитъ, дома одному скучно было... Старушка не долго прожила съ тѣхъ поръ, какъ ее изъ острога выпустили. Она черезъ мѣсяцъ убѣжала изъ богадѣльни въ свой домъ, и оттуда ее никто не могъ увести. Она то-и-дѣло ходила въ огородъ, садилась между грядъ, и вставала, потомъ говорила: «Разорить меня хочете... Я самому... самому главному скажу!..» Къ сосѣдямъ она не ходила и питалась тѣмъ, что ей носили сами сосѣди. Хлѣбъ и молоко она не брала и говорила: «Не хочу я. Это сынъ потчуетъ... Не хочу!» и она бросала на полъ хлѣбъ: «Не хочу — будь онъ трижды, анаѳема, проклятъ».

Ахъ не видалъ ты этихъ людей, не живалъ съ ними?.. Жалости достойно!.. Четыре мѣсяца мучилась такъ старушка. Ходилъ къ ней и Степанъ Еремеичъ, и ходилъ только, когда бывалъ выпивши. Придетъ онъ въ домъ, сядетъ на лавку; она что-нибудь дѣлаетъ: или картофель перебираетъ, или рѣдьку считаетъ; смотритъ такъ на нее жалобно, и скажетъ:

— Матрена, каковъ сынъ-то?

А она и говоритъ!

— Ну, вяжи меня! Сади въ острогъ!

— Матушка Матрена!—скажетъ бывало Степанъ Еремеичъ.

— Вяжи! Экъ испугались... Хорошъ мужеенекъ...

Зимой ее въ погребу потолкомъ задавило.

Плохо жилъ Степанъ Еремеичъ; жалѣли его всѣ сосѣди и ругали Тимоѳея Степаныча. А тому что? живетъ себѣ попрежнему, какъ ни въ чемъ не бывало, и говоритъ: «Я не виноватъ: отецъ невѣжа, необразованъ».

Такъ вотъ онъ каковъ былъ Тимоѳей Степанычъ, второй сынъ Облупалова... Нечего сказать, хорошій человѣкъ, хорошій облупало!..

Богъ знаетъ, что было бы съ Степаномъ Еремеичемъ безъ жены; можетъ статься, худое бы онъ что-нибудь сдѣлалъ, да спасибо его меньшой сынъ Максимъ призрѣлъ.

Максимъ сталъ учиться въ окружномъ училищѣ, и къ отцу ходилъ сначала только разъ въ мѣсяцъ, а потомъ отпускали его каждое воскресенье. Когда онъ бывалъ у отца, и когда я видѣлъ его, онъ говорилъ, что учатъ тамъ больно строго, дерутъ ужъ больно некстати, чуть не каждый день, оставляютъ безъ обѣда часто, да на колѣни ставятъ; начальства тамъ много: каждый учитель, каждый надзиратель да дядьки—начальники, и ученики есть начальники, кои старшими называются. Не хотѣлось Максиму учиться, а отцу хотѣлось, чтобы онъ человѣкомъ вышелъ, урядникомъ былъ, квартальнымъ поступилъ. Степанъ Еремеичъ говорилъ тогда Максиму: «Терпи казакъ—атаманомъ будешь. Теперь тебя дерутъ, потомъ ты самъ будешь драть воровъ да плутовъ».

Окна въ училищѣ были сажень 9 отъ земли, и убѣжать ученикамъ было нельзя. Строго смотрѣли за ними, и водили ихъ, когда они ходили куда нибудь, съ солдатами, кои дядьками назывались. Да и водили-то ихъ только въ церкви. Училище это помѣщается во дворѣ, гдѣ горное правленіе, главная контора, гдѣ живетъ горный начальникъ, а противъ него монетный дворъ. Черезъ годъ Максима пѣвчимъ сдѣлали, и пѣлъ онъ со своими же товарищами да учениками уральскаго училища, были тутъ и урядники—въ Екатерининскомъ соборѣ. А форма одежды учениковъ была все равно, что у кантонистовъ: такія же курточки, такія же шинели и фуражки. За пѣніе Максимъ деньги получалъ, только не всегда, потому онъ малъ тогда былъ. У насъ, братецъ ты мой, даже и пѣвчіе, и музыканты свои казенные были. Пѣвчіе въ Екатерининскомъ соборѣ жалованье получали, а въ прочихъ церквахъ пѣвчимъ купцы помѣсячно платили; ну, да и доходы были, потому, значитъ, церквей немного, а народу много, городъ большой, и приглашали хорошихъ пѣвчихъ на похороны да на свадьбы. Только, надобно правду сказать, прежде, когда Максимъ пѣлъ, пѣвчіе въ Екатерининскомъ соборѣ хорошо пѣли, а теперь скверно—уши дерутъ, потому голосовъ нѣтъ, и силой пѣть ужъ не заставляютъ ребятъ. Только у насъ самые лучшіе пѣвчіе въ Вознесенской церкви, гдѣ мой сынишка пѣвчимъ, да еще архіерейскіе; да и тамъ, если бы не дьяконъ одинъ, такъ хоть распускай. Вотъ пермскіе архіерейскіе, кои пріѣзжаютъ сюда съ архіереемъ своимъ разъ въ два года, вотъ ужъ пѣвчіе, единственные во всей губерніи: наши стараются у нихъ перенять, да не могутъ. Ну, да тамъ губернскій. Еще бы!

Максимъ въ училищѣ не очень хорошо учился, потому, значитъ, любилъ пѣть. Хотѣли его исключить за лѣность, да регентъ упросилъ. А когда онъ кончилъ курсъ въ училищѣ черезъ шесть лѣтъ, его хотѣли было на службу въ главную контору взять да переписывать пріучать, только квартальный упросилъ начальство перевести Максима въ уральское училище; потому это хотѣлось квартальному, что оттуда урядниками выходятъ, и ему хотѣлось опредѣлить крестника квартальнымъ. У квартальнаго только сынъ былъ, да дурачекъ такой: нигдѣ не служилъ, ничего не дѣлалъ, только пьянствовалъ, да таскался, а числился тоже при полиціи. Ну, вотъ квартальный и хвастался людямъ, что онъ большой человѣкъ, благодѣяніе хочетъ сдѣлать бѣднымъ людямъ.

Поступилъ нашъ Максимъ въ уральское училище опять на казенный счетъ, опять сталъ учиться горнымъ предметамъ, маршировать да пѣть съ пѣвчими. Здѣсь житье было повольнѣе, въ городъ отпускали каждый день. Ходилъ онъ къ матери да отцу, говорилъ, что теперь лучше стало, кормилъ ихъ пряниками да орѣхами, и водки покупалъ отцу. Отецъ не сердился, что Максимъ водку

потягиваетъ, потому, значитъ, онъ считалъ его ужъ за человѣка, и даже побаивался. Людей со свѣтлыми пуговицами онъ считалъ за начальниковъ. Хотя и считалъ онъ каждаго себѣ равнымъ, такъ это только у Тимоѳея въ домѣ, а попадись на встрѣчу со свѣтлыми пуговицами—онъ и сморщится, и шапку долой. Тимоѳея Максимъ не любилъ за то, что онъ гордымъ былъ, и ему не давалъ денегъ, когда онъ просилъ, а Тимоѳей называлъ Максима пьяницей. Ну, какъ пѣвчихъ часто звали на похороны да на свадьбы и поили ихъ тамъ водкой, Максимъ и пріучился потягивать сначала рюмочку, а тамъ и три, и пошло катать, а денежки на рынкѣ проѣдалъ, потому, значитъ, кормили ихъ скверно. Максимъ былъ бойкій парень, буянъ, не боялся дядекъ да надзирателей, и пьяный за все заводилъ драки. За грубость его сильно драли. Часто дядьки ловили его съ водкой, коей онъ угощалъ товарищей, и представляли его инспектору, а тотъ дралъ. Вотъ Максимъ и не залюбилъ инспектора. «Разъ,—говорилъ онъ мнѣ:—приходитъ въ классъ инспекторъ, а я что-то чертилъ и не замѣтилъ его; ну, и сижу, черчу, а прочіе встали. Ну, инспекторъ подумалъ, что я нарочно это сдѣлалъ, вытащилъ изъ-за парты за ухо, поставилъ въ классъ на колѣни и обѣдать не велѣлъ. Вотъ я всталъ на колѣни, разсердился, что напрасно стою, и думаю: удеру я надъ тобой штуку такую, что будетъ тошно. И сталъ думать: что бы такое сдѣлать? и задумался. Инспекторъ стоялъ спиной ко мнѣ, ученика спрашивалъ, и учитель тоже спиной стоялъ. Вотъ я досталъ изъ кармана бумагу, разжевалъ ее во рту, сдѣлалъ пулькой, и бацъ въ инспектора... Пулька такъ и влѣпилась въ коротенькіе волоса головы инспекторской. Ученики захохотали, а инспекторъ озлился, какъ левъ кричитъ: «кто бросилъ? всѣхъ передеру!» Ребята были славные, другъ дружку не выдавали; дерка была нипочемъ, можно въ больницу уйти; только теперь струсили: а если выгонитъ? Ну и не сказали таки. Притащили сторожа розогъ, и принялся онъ драть, да съ меня и началъ. Какъ сталъ драть, я и сказалъ, что я бросилъ, и не то еще сдѣлаю, на колѣни, потому, напрасно не ставь. Ну, ужъ и дралъ же онъ меня такъ, что я ничего не помнилъ подъ конецъ, а только въ больницѣ и очувствовался». Послѣ этого Максимъ больно былъ золъ на инспектора и учиться не сталъ. Дѣлалъ разныя штуки надъ учителями да дядьками, ругался, его драли, и наконецъ вытурили изъ училища. «Вотъ какъ это было,—разсказывалъ Максимъ Степановичъ:—пришли мы съ похоронъ, хмѣльны были изрядно, да съ собой еще принесли штофъ водки, какой утянули со стола, потому, значитъ, обѣдали особо отъ прочихъ. Ну, зашли въ училище всей компаніей, кромѣ маленькихъ, и урядники пришли съ нами, и стали пить водку. Урядники попили немного, да скоро и ушли, а мы и давай одни пить, да пѣть, да плясать; еще послали за водкой одного музыканта, и музыканты закутили... Дядьки стали ругать да унимать, мы драку съ ними затѣяли. Одинъ дядька и пошелъ за инспекторомъ. Пришелъ инспекторъ и давай драть насъ. Я не дался. Пришли сторожа, скрутили меня, и пошли свистѣть розги, а какъ это ударятъ, я и ругаю инспектора... Тотъ видитъ, ничего со мной не сдѣлаешь, велѣлъ оставить меня драть, и говоритъ: завтра же тебя выгоню. Я и говорю: больно нуждаются вашимъ братомъ! и обозвалъ его. Меня тотчасъ же и выгнали. Пошелъ я къ отцу, а на другой день меня потребовали въ училище, и сказали, что я ужъ исключенъ. Ну ихъ! Пѣть стану». Бился такъ Максимъ Степанычъ недѣли двѣ, хотѣли его куда-то на заводы послать, да отецъ упросилъ горнаго начальника, и приняли его писаремъ въ главную контору. Вотъ и сталъ служить въ главной конторѣ, и пѣвчимъ все-таки былъ. Только и на службѣ онъ лѣнивъ былъ, мало писалъ. Все ему хотѣлось дѣлать по охотѣ: захочетъ писать—давай, напишетъ, не захочетъ—хоть проси, распросись, возьметъ шапку и уйдетъ. «Стану я вамъ за четыре рубля писать! Экъ вы выдумали!»—говорилъ онъ тогда. Впрочемъ, онъ не грубилъ здѣсь съ начальствомъ. Сначала онъ у отца жилъ, а потомъ, какъ перешелъ къ нему Тимоѳей съ женой, пошли у нихъ ссоры между собою изъ-за жены Тимоѳея—вишь ты Тимоѳей ревновать сталъ жену, ну, Максимъ и ушелъ на квартиру. Въ главной конторѣ онъ служилъ съ годъ, а потомъ его опредѣлили въ горное правленіе, и тамъ черезъ три года урядникомъ сдѣлали.

Урядникъ для нашего брата, маленькихъ людей, важный чинъ, и получить его трудно. Рабочему да мастеровому о немъ и думать не велѣно. Этотъ чинъ даютъ только тѣмъ, кои бумагу мараютъ да перья портятъ. И тѣ получаютъ съ трудомъ. Если кто выучится въ школѣ заводской, тому, если онъ поступитъ въ контору, даютъ чинъ писца. Это самый первый чинъ, равный рабочему, и писецъ уравненъ съ рабочимъ. По особымъ заслугамъ да за деньги давалось писцу, годовъ черезъ пять или десять, званіе писаря. Чинъ этотъ равенъ нижнимъ горнымъ чинамъ, о чемъ я ужъ говорилъ раньше, а если кто выходилъ изъ окружного училища, тому давалось прямо званіе писаря. Вотъ у насъ въ заводахъ и были все писцы да писаря, и если кто имѣлъ деньги да начальству нравился, того представляли въ урядники. Изъ уральскаго училища прямо выходили урядники. Урядникъ ужъ былъ третій чинъ, и носилъ галуны. Онъ былъ все равно, что унтеръ-шахтмейстеръ, какіе прежде давались вмѣсто урядника, или все едино, что унтеръ-офицеръ. Урядники еще назывались по статьямъ: первой, второй и третьей. Сначала производили въ третью статью, потомъ во вторую, потомъ въ первую. Только это были прикрасы, а урядникъ все-таки былъ урядникомъ, развѣ только жалованье больше получаетъ. Урядникъ потому былъ важенъ для писарской братіи, что со времени производства въ урядники считалось время для производства въ офицерскій чинъ. Офицерскій чинъ давался уряднику черезъ двадцать лѣтъ, а если занималъ классную должность три года, то черезъ двѣнадцать лѣтъ. Ну, дѣти офицеровъ да дворянъ

по особому уставу чины получали; тѣ, значитъ, не нашего поля ягоды. Вотъ у насъ въ главной конторѣ и горномъ правленіи, есть писаря и старики; ужъ такъ фортуна не везетъ. Тоже вотъ и въ горное правленіе трудно попасть изъ заводовъ, потому, значитъ, каждый любитъ жить въ своемъ родномъ мѣстѣ, гдѣ у него домъ да покосъ, и всѣ знакомые или товарищи. Попадали туда только молодые да богатые. Безъ денегъ туда не переводили изъ заводовъ. Такимъ-то порядкомъ и служили тамъ въ горномъ правленіи или изъ городскихъ, или изъ заводскихъ дѣтей,—люди все ученые, ребята молодые да славные; такъ тутъ и умирали урядниками и, если должности не получали, и чиновниками дѣлались, въ заводы уѣзжали на хорошія должности, и надъ нижними чинами командовали.

Съ полгода, бывши урядникомъ, Максимъ Степанычъ хорошо служилъ, водки пилъ мало и писалъ въ правленіи прилежно. А потому это такъ: жениться онъ задумалъ. Понравилась ему одна дѣвушка на бульварѣ. Ну, онъ сначала подладился къ ней, потомъ и пошли у нихъ дѣла, и тянулись съ полгода. Она была дочь купца, и за нее сватался столоначальникъ горно-правленскій, человѣкъ такъ лѣтъ сорока, потому сватался, что ему хотѣлось получить денегъ тысячъ десять да домъ каменный. А Максимъ Степанычъ говорилъ, что ему денегъ не надо, сопьюсь, говорилъ, либо задавлюсь. Ну, послалъ онъ свою сватью—той отказали; онъ столоначальнику сказалъ, тотъ его обозвалъ какъ-то, и все-таки женился на его любезной и удралъ съ ней куда-то исправникомъ—за деньги опредѣлили. Ну, и сбился спанталыка Максимъ Степанычъ: сталъ водку пить да буянить, драки заводилъ въ кабакахъ, когда пѣвалъ въ церкви, кричалъ во всю ивановскую, а у него басина былъ здоровый, протодьякону не уступалъ. На службу ходилъ рѣдко, его дежурить не въ зачетъ заставляли; онъ все-таки уходилъ; пакости разныя дѣлалъ со столоначальникомъ; въ шести столахъ перебывалъ, въ долгу постоянно былъ, съ квартиръ гнали. Нечего сказать, хорошая забулдыга сдѣлался, а къ брату не шелъ, подлецомъ его называлъ, а если есть деньги—зайдетъ къ отцу, и утащитъ его къ себѣ на квартиру, и напоитъ до отвалу, а нѣтъ—на службу идетъ заниматься и денегъ въ долгъ проситъ. А еще молодъ былъ. Мнѣ жалко его было, потому значитъ, онъ все же выше нашего брата былъ, а опустился вонъ какъ. Наша братія—мастеровые да работники, любятъ выпить, что называется, до положенія ризъ напьются, и руками при этомъ почешутъ для собственнаго удовольствія, а до того, какъ Максимъ Степанычъ, не доходили, не безобразничали. Всеже думаемъ: у насъ семейство; не будемъ работать, такъ уморимъ дѣтей, а служащая братія совсѣмъ иначе: есть деньги—пропьетъ, нѣтъ—въ долгъ беретъ, а не даютъ, голодомъ сидятъ; да добро бы жалованье хорошее было, а то какихъ-нибудь шесть рублей — и все тутъ; нашъ братъ больше получитъ. Нашъ братъ начальства боится, а у нихъ начальство снисходительное, не деретъ. Вотъ и пьянствуютъ да не пишутъ, или не дѣлаютъ дѣла. Впрочемъ, не всѣ были тамъ такіе, какъ Максимъ Степанычъ; тамъ много было трезвыхъ да трудолюбивыхъ, смирныхъ такихъ; а онъ всѣхъ превосходилъ. Это бы еще туда-сюда, такъ онъ еще свое начальство ругалъ. «Вотъ, говоритъ, этотъ плутъ, а этотъ дѣла не знаетъ, такого-то давно бы въ отставку надо выгнать»... Задирчивый былъ человѣкъ... Хорошо, что начальство не слышало, а то угнало бы туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

Въ то время былъ у насъ главный начальникъ больно строгій человѣкъ. Онъ никакихъ непорядковъ не терпѣлъ, всѣхъ служащихъ въ стрункѣ держалъ, требовалъ, чтобы всѣ служащіе въ формѣ ходили, чтобы когда онъ идетъ или ѣдетъ, да кто мимо его идетъ или навстрѣчу попадется, шапку ему снималъ да кланялся, чтобы въ горномъ правленіи его на крыльцѣ встрѣчали совѣтники, секретарь да экзекуторъ. Ну, и боялись его всѣ, въ заводахъ трепетали, и что ни скажетъ онъ, свято. А ужъ сѣдой былъ, только ходилъ скоро и говорилъ скоро да громко, какъ кричалъ, и лицо у него строгое было. Все-таки онъ и добръ былъ иногда, и въ нужды людей входилъ, если расположеніе на то было. Съ горными начальниками да управителями онъ дѣлалъ, что хотѣлъ, а на маленькихъ людей и вниманія не обращалъ, а въ нужды входилъ такъ, какъ вздумается, да когда расположеніе будетъ. Однажды былъ въ горномъ правленіи. Выругалъ тамъ совѣтниковъ и пошелъ по отдѣленіямъ. Ну, идетъ и кричитъ, урядникамъ любо. Только увидалъ онъ у Максима Степаныча волосы долгіе на головѣ.

— Это что?—вскричалъ на Максима Степаныча главный начальникъ.

— Волосы,—говоритъ Максимъ Степанычъ.

А онъ ужъ выпивши былъ.

— Что?

— Волосы, ваше превосходительство.

— Посадить его на гауптвахту!—сказалъ главный начальникъ. Ну, и посадили Максима Степаныча на гауптвахту и проморили его тамъ трое сутокъ. Максимъ Степанычъ былъ такой же человѣкъ, какъ и наша братья: видимъ, что ни за что обидѣли, если свой братъ—отколотимъ, а начальство—выругаемъ, а потомъ хоть и отдерутъ, все же намъ любо, что мы выругали; ну, и онъ былъ мстительный. Однажды его секретарь за что-то обидѣлъ. Вотъ онъ пришелъ утромъ рано, забрался въ его комнату и облилъ чернилами какой-то журналъ, листахъ на двадцати, и ушелъ пѣть съ пѣвчими на похоронахъ. А журналъ нужный былъ, нужно было его въ этотъ день къ главному начальнику нести. Ну, главный начальникъ и посадилъ секретаря на гауптвахту... Такъ и теперь задумалъ Максимъ Степанычъ удрать какую-нибудь штуку, и то надъ кѣмъ же? Надъ самимъ главнымъ начальникомъ! Иной изъ нашего брата и подумать объ этомъ не посмѣлъ бы. И сдѣлалъ таки штуку. Шелъ онъ однажды съ похоронъ пьяный до того, что едва стоялъ, и ухаетъ пѣсни, а самого поша-

тываетъ направо и налѣво. Только онъ поровнялся съ горнымъ правленіемъ, и ѣдетъ къ нему навстрѣчу главный начальникъ. Онъ идетъ да ухаетъ. Главный начальникъ видитъ человѣкъ въ горнозаводской формѣ, осердился, что у служащихъ такіе безпорядки да безобразія, и велѣлъ кучеру остановить лошадей.

— Кто ты такой?—кричитъ онъ Максиму Степанычу.

Тотъ остановился и кричитъ: «Преваливай!» Главный начальникъ не понялъ и спрашиваетъ снова: «Кто ты такой?»

— Не мазаный, сухой... И пошелъ Максимъ Степанычъ своей дорогой.

Главный начальникъ вошелъ въ бѣшенство, вылѣзъ изъ тарантаса и догналъ его.

— Я тебя спрашиваю, кто ты такой?

— Петръ Петровъ Пастуховъ.

— Отчего ты пьянъ?

— Пьянъ и еще выпью, — говоритъ Максимъ Степанычъ и побрякиваетъ деньгами: «Пойдемъ въ кабакъ!»

— Что? Какъ ты смѣешь говорить мнѣ это? и главный начальникъ ударилъ его по лицу.

— Ты не дерись, самъ сдачи дамъ. Эка птица!.. Главный начальникъ видитъ, что съ пьяницей ничего не сдѣлаешь, махнулъ рукой солдатамъ, кои у гауптвахты были и, какъ тѣ подошли, онъ сказалъ имъ: «взять его и держать до тѣхъ поръ, пока я не распоряжусь съ нимъ! Я тебѣ задамъ!— сказалъ онъ Максиму Степанычу...

Увели солдаты Максима Степаныча на гауптвахту; ну, да ему не привыкать стать сидѣть; онъ говорилъ солдатамъ: «Что, каковъ! Сдѣлалъ таки штуку... А здѣсь квартира готовая...»

На другой день получилось отъ главнаго начальника въ горномъ правленіи приказаніе: сослать Облупалова урочно-рабочимъ на богословскіе заводы. Богословскіе заводы казенные и край тамъ самый бѣдный, потому, холодно и хлѣбъ дорогъ; туда ссылали людей за преступленія да за разныя разности. Ну, и сослали туда Максима Степаныча.

Вотъ оно что значитъ съ сильными бороться: какъ муху придавили!

Всякому извѣстно, каково изъ урядниковъ вдругъ сдѣлаться урочно-рабочимъ. Ужъ коли урядника трудно получить писцу, хорошему человѣку, а изъ урочнаго работника и не думай быть урядникомъ. Не знаю, чтобы сдѣлалъ надъ собой Максимъ Степанычъ, да только у него много было въ заводѣ изъ уставщиковъ да другихъ чиновъ товарищей по уральскому училищу, да въ главной конторѣ, при горномъ начальникѣ, служили его товарищи по горному правленію, знали его, ну, они-то и поддержали его. Горный начальникъ любилъ музыкантовъ да пѣвчихъ, и велѣлъ ему быть пѣвчимъ, а на работы не велѣлъ ходить, а въ свободное время писать въ конторѣ велѣлъ. Теперь Максимъ Степанычъ понялъ, что бороться съ начальствомъ нельзя, и сталъ слушаться начальниковъ; сталъ опять пѣвчимъ, и ходилъ въ контору ради того, чтобы скуку провести, а пьянствовалъ ужъ рѣдко и то, кто къ себѣ его позоветъ. Такъ онъ и бился два года.

Пріѣхалъ туда на заводъ тотъ же главный начальникъ. Былъ онъ въ церкви у обѣдни, и понравились ему пѣвчіе. Только стоитъ онъ въ церкви и посматриваетъ на клиросъ, а тамъ Максимъ Степанычъ въ то время регентомъ былъ. Кончилась обѣдня, главный начальникъ и говоритъ на обѣдѣ горному: хорошо поютъ пѣвчіе, хорошо. Дать имъ двадцать пять рублей. Кто регентъ?

— Рабочій Облупаловъ, — говорилъ горный начальникъ.

— Позвать его!

Пришелъ Облупаловъ.

— А это ты?

— Виноватъ, ваше превосходительство!

— Какъ онъ живетъ? — спросилъ главный начальникъ горнаго.

— Отлично,—говоритъ горный начальникъ.

— Пьетъ водку?

— Нѣтъ.

— Ну, Облупаловъ, я тебя прощаю. Смотри не попадайся мнѣ впередъ такимъ на глаза. Не то сдѣлаю! Потомъ и говоритъ горному начальнику: «Возвратить ему урядника, а изъ завода не выпускать!».

Воротили Максиму Степанычу урядника, и опредѣлили въ контору, потомъ столоначальникомъ сдѣлали. Хорошее ему было житье въ заводѣ, всѣ любили его, а если любилъ онъ выпить, такъ пилъ ужъ не попрежнему. Тутъ въ заводѣ онъ женился, взялъ мастерскую дочь; хотя у отца ея и не было денегъ, да она молодая, красивая была, и больно ему по сердцу пришлась. Съ женой онъ тамъ жилъ годовъ пять и двоихъ дѣтей—сына и дочь—прижилъ, а когда уволили его изъ горнаго вѣдомства, онъ и уѣхалъ съ женой да дѣтьми въ нашъ городъ, и остановился въ отцовскомъ домѣ, и отца призрѣлъ, а женѣ велѣлъ уважать отца и ничѣмъ не попрекать. Въ гражданскую службу онъ не пошелъ, а записался въ мѣщане, и занимается теперь у одного купца золотопромышленника бухгалтеромъ въ конторѣ, и жалованья получаетъ тридцать пять рублей въ мѣсяцъ, и живетъ лучше иного чиновника. Домъ онъ поправилъ и сдѣлалъ въ немъ три горницы и кухню, а въ огородѣ садъ хочетъ развести...

Тимоѳей, какъ уволили его, тоже въ мѣщане записался и попрежнему занимается мастерствомъ; толстый сталъ, только, ужъ онъ теперь много вина пьетъ, все ромъ, да въ карты началъ поигрывать и проигрываетъ деньги. Жена его толстая стала, а какъ это надѣнетъ кринолинъ,—ужасть какая широкая. Не любятъ наши мастеровые кринолины, а жены то-и-дѣло порываются хоть обручь съ бочки да напялить.... Срамъ! Ну, Тимоѳей да жена теперь еще гордѣе стали, потому у нихъ знакомыхъ много.

Вотъ Максимъ Степанычъ такъ душа-человѣкъ. Любезный, обходительный, со всякимъ поговоритъ хорошо, и совѣтъ дастъ, и денегъ дастъ. Со мной онъ больно хорошъ: все мнѣ книги разныя даетъ.

И жена его, Парасковья Яковлевна, такая же. Всѣ наши бабы ее любятъ, да завидуютъ ей. А кринолины она не носитъ, и ходитъ попросту. И дѣти у нихъ, не въ примѣръ нашимъ, такія разумныя да толковыя, и книжечки читать умѣютъ, и стихи наизусть знаютъ, и много на улицѣ не балуютъ. Максимъ Степанычъ самъ ихъ обучаетъ да ласкаетъ, а чтобы ударилъ когда—ни за что! «Я, говоритъ, хочу ихъ воспитать, какъ должно, а потомъ сына отдамъ въ гимназію, а дочь въ женское училище».

Таковы-то были три брата Облупаловы.

По-моему Максимъ изъ всѣхъ лучше, потому, значитъ, онъ всѣхъ больше перетерпѣлъ и не загубилъ себя, и другимъ вреда не сдѣлалъ, а хорошее дѣло сдѣлалъ: отца призрѣлъ. Любо посмотрѣть на старика: дѣлаетъ онъ по своей охотѣ, ѣстъ что хочетъ, всѣ его любятъ, дѣти Максима его забавляютъ, и онъ ихъ тѣшитъ. Любитъ онъ и выпить, и какъ выпьетъ, цѣлуетъ Максима: золото ты у меня! Богъ тебя наградитъ, голубчика... Потомъ жену его цѣлуетъ и говоритъ: красавица ты моя писаная! Всѣхъ ты бабъ нашихъ лучше. Не серди моего Максюточку, будь къ нему ласковѣе. Потомъ дѣтей ихъ ласкаетъ: внучаточки! куплю я вамъ перчаточки! Пострелятоочки, куколки мои...

Съ Новымъ годомъ.

«Милостивый государь,
Геннадій Иванычъ!

Поздравляю васъ съ наступающимъ праздникомъ Рождества Христова и приближающимся Новымъ годомъ и желаю провести оные въ вожделѣнномъ здравіи и благополучіи.

Съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и преданностью остаюсь

Вашимъ всепокорнѣйшимъ слугою, Старшій сортировщикъ Камской губернской почтовой конторы по денежной корреспонденціи Александръ Петровъ Васильевъ.

— Семь писемъ уже есть; осталось штукъ двѣнадцать,—размышлялъ про себя Александръ Петровичъ, разсматривая лежащія передъ нимъ на столѣ семь написанныхъ полулистовъ почтовой бумаги.— Ну, теперь къ Зайцеву... Только не стоитъ ему писать: ничего не дастъ. Вѣдь есть же такіе люди, для которыхъ все готовъ сдѣлать, даже письма даромъ отправляешь, а они ничего не даютъ... Постой, голубчикъ, если ты нынче, къ Новому году ничего не дашь—я прижму тебя... Александръ Петровичъ сталъ разсматривать полулистъ бумаги, на которомъ были написаны имена и фамиліи разныхъ благотворителей служащихъ почтовой конторы, и о каждомъ дѣлалъ замѣчанія: этотъ даетъ два фунта чаю къ Новому году и къ Пасхѣ; этотъ три рубля; этотъ рубль...

— Петровичъ! Ставить самоваръ? — спросила Александра Петровича изъ кухни жена его, Анна Ивановна.

— А который часъ?

— Да скоро пять.

— Ставь. А у насъ много ли еще чаю?

— Кажется, шесть фунтовъ. А что?

— Такъ. Нынче можетъ быть еще фунтовъ восемь получу.

— Ты ужъ такъ напиши, чтобы тебѣ десять принесли.

— Можетъ, и принесутъ.

— А объ сахарѣ писалъ?

— Будь ты проклятая безтолочь! Кто въ поздравительныхъ письмахъ пишетъ, чтобы ему принесли того или другого. Экъ ты!

— Самъ-то ты больно хорошъ. Анна Ивановна стала ставить самоваръ и долго ворчала до тѣхъ поръ, когда Александръ Петровичъ ударилъ ее кулакомъ по спинѣ.

— Что ты дерешься, подлая рожа? Фонарей что ли хочешь мнѣ къ празднику сдѣлать?

Александръ Петровичъ еще разъ ударилъ свою благовѣрную. Анна Ивановна свыклась уже съ колотушками своего благовѣрнаго, поплакала немного, а самоваръ все-таки поставила,—т. е. налила въ него воды и натолкала чуть не полную трубу каленыхъ углей, которые посредствомъ лучины протолкала даже черезъ поддонникъ, отвалившійся во время чистки самовара.

— Александръ Петровичъ, пожалуйте въ контору: почта пришла,—сказалъ вошедшій почтальонъ.

— Будь она проклята; провалиться бы ей... Какая?

— Московская тяжелая, на шести... Почтальонъ ушелъ, и Александръ Петровичъ сталъ одѣваться.

— Ты придешь пить чай?—спросила его Анна Ивановна.

— Есть когда мнѣ чай пить. Ты смотри у меня, береги тамъ письма.

— Очень нужно.

Александръ Петровичъ, облаянный женой, ушелъ въ контору, думая, что бы такое сдѣлать съ женой: хоть ты ее бей, она все въ свой носъ дѣлаетъ. Ужъ и въ банѣ ее дралъ — все неймется. Ахъ баба!..

Александръ Петровичъ родился отъ почтальона и все дѣтство провелъ среди почтовой братіи — почтальоновъ и сортировщиковъ, старыхъ и молодыхъ, мужчинъ и женщинъ, мальчиковъ и дѣвушекъ, жившихъ въ двухъ почтовыхъ домахъ, рядомъ съ почтовой конторой, помѣщающейся внизу и надъ которой во второмъ этажѣ жилъ самъ почтмейстеръ. Въ одномъ домѣ, каменномъ, жили: помощникъ почтмейстера, контролеръ, письмоводитель и еще одинъ старшій сортировщикъ у простой корреспонденціи; въ другомъ деревянномъ, жили: сортировщики, старшой, почтальоны и сторожа. Каждый семейный имѣлъ комнату, и у каждой кухонной печки стряпали и варили на три—на четыре семьи. Одинъ старшой да сортировщикъ, занимающійся у денежной корреспонденціи, занимали по комнатѣ и кухнѣ. Всѣ мальчики и дѣвушки восьмилѣтніе ругались такъ же, какъ и большіе, потому

что крикъ и драки, разная ругань, были дѣломъ обыкновеннымъ, необходимостью, и безъ нихъ не проходилъ ни одинъ день, начиная съ утра. Каждая женщина ставила у печки самоваръ, мѣшала другой женщинѣ; въ печкахъ было тѣсно горшкамъ и латкамъ, короваямъ хлѣба и разному печенью—женщины ругались, дрались у бочки съ водой, на улицѣ за помои, дóма у печки; приставали мужья, начинался гвалтъ, крикъ и вой, потомъ жалобы старшóму и почтмейстерý, если не забывались ночью, начинались на другой день. Поэтому не удивительно, что Александръ Петровичъ и Анна Ивановна, выросшіе среди семидесяти человѣкъ на одномъ дворѣ, зная каждаго и каждую, какъ своего отца, ругались постоянно за чаемъ, послѣ чая, за обѣдомъ, за какимъ-нибудь совѣтомъ и даже на кровати, ругали прочихъ и сами были обругиваемы и все-таки всѣ жили какъ будто бы дружно: просили въ долгъ, обѣдали въ именины всѣ, прощались въ прощеный день, сидѣли лѣтомъ за воротами... Впрочемъ, почти всѣ почтовые были другъ другу кумовья и кумушки. Александръ Петровичъ съ 8-милѣтняго возраста сталъ пріучиваться къ почтовой службѣ. Грамотѣ обучился онъ какъ-то машинально, безъ розги; то одинъ почтальонъ заставитъ его учить азы, другой заставитъ выводить на бумагѣ буквы для того, чтобы онъ не баловалъ въ конторѣ, то кто-нибудь дастъ ему въ руку мазилку и водитъ его рукой по рогожѣ и пишетъ на тюкѣ: «п. п. изъ Камска въ Нижній-Новгородъ», говоря: учись, почтальономъ будешь. Жизнь Александру Петровичу въ дѣтствѣ была веселая: онъ постоянно терся въ конторѣ, бѣгая изъ одной комнаты въ другую, смѣялся, дразнилъ почтальоновъ и любовался на народъ въ почтовый день, на лошадей, дразнилъ татаръ-ямщиковъ, показывая имъ свиное ухо изъ полы стараго отцовскаго сюртука, бывшаго ему до пятокъ, и бѣгалъ отъ татаръ, когда они хотѣли отодрать его витнями. На 10 году отдали Александра Петровича въ приходское училище, черезъ годъ перевели въ уѣздное по просьбѣ отца. Училище для Александра Петровича было и мукой и развлеченіемъ, и онъ не учился. Въ это время Александръ Петровичъ, умѣвши писать, занимался въ конторѣ, записывая въ реестры письма и пакеты, и даже писалъ крестьянамъ и крестьянкамъ письма къ солдатамъ, а на 14 году выучился всей почтовой премудрости, зналъ весь порядокъ отправки почты и какъ, съ кого и за что просить денегъ. Такъ на 14 году онъ уже имѣлъ свои деньги, наживая ихъ въ наборы *) за росписки за неграмотныхъ и за сочиненіе разныхъ писемъ, въ которыхъ только и заключались одни поклоны. На 16 году Александра Петровича опредѣлили почтальономъ и стали посылать съ почтой недалеко. Маленькій почтальонъ разнился отъ большихъ только тѣмъ, что онъ былъ маленькій, мало пилъ водки и не былъ еще женатъ, хотя вся дворня—т.-е. всѣ почтовые, знали, что съ нимъ живетъ Анка, дочь почтальона, жившая рядомъ съ отцомъ Александра Петровича. Оттого, что всѣ жили въ одномъ домѣ, видѣлись и говорили каждый день, почтовые любились по зауламъ и только не открыто, хотя каждый зналъ, кто съ кѣмъ знается. Каждый почтальонъ, женатый, ухаживалъ за почтальонкой или дѣвицей, рѣдкая замужняя не ухаживала за женатымъ или холостымъ почтальономъ, и если мужъ ругалъ жену въ невѣрности, жена тоже ругала мужа въ невѣрности, и все дѣло оканчивалось только дракой, и почтальоны и почтальонки продолжали любиться по старому. Надоѣдалъ одинъ или одна—они находили предметъ любви въ другомъ лицѣ. Перемѣна лицъ случалась часто, когда почтальона перемѣщали, увольняли, когда поступали новые. Отъ этого женщины ругались также, какъ и мужчины-мужья, пили на ряду съ ними водку, смотрѣли на дѣтей сквозь пальцы и если имѣли мужа, то по необходимости, чтобы имѣть деньги. У почтальоновъ много было любовницъ-почтальонокъ въ другихъ городахъ, куда они ѣздили съ почтами, а почтальоны эти, зная все, не ревновали женъ, а пріѣзжая въ губернскій, говорили женамъ этихъ почтальоновъ объ любви мужей ихъ и любились съ ними... На 16-мъ году Александръ Петровичъ женился на Аннѣ Ивановнѣ и черезъ три мѣсяца послѣ свадьбы у него уже былъ ребенокъ... Александръ Петровичъ часто ѣздилъ съ почтами, рѣдко бывалъ дома, когда не ѣздилъ съ почтами, а носилъ по городу письма, и Анна Ивановна имѣла въ первый годъ супружества двоихъ обожателей, холостыхъ почтальоновъ, на второй одного, на третій четырехъ... Александръ же Петровичъ билъ жену и съ своей стороны имѣлъ обожательницъ въ губернскомъ и болѣе въ уѣздныхъ городахъ. Все-таки въ домѣ мало было неурядицы: жена исправно кормила его обѣдомъ, ужиномъ, поила чаемъ, шила, онъ давалъ ей денегъ на необходимость и даже водился съ ребятами. Черезъ десять или пятнадцать лѣтъ почтальонамъ и почтальонкамъ надоѣдали разныя лица, въ которыхъ они видѣли только обманы; измученные разными болѣзнями и обремененные кучею ребятъ, они не видѣли никакого исхода изъ почтальонскаго званія, потому что, при опредѣленіи, почтальоны давали подписки на прослуженіе въ почтовомъ вѣдомствѣ 25 или 20 лѣтъ, а получали должность сортировщика или станціоннаго смотрителя извѣстные хорошимъ поведеніемъ губернскому почтмейстеру и за деньги; могли же выйти изъ почтальоновъ только не почтальонскіе дѣти, или когда ихъ, за пьянство и воровство, сдадутъ въ солдаты. Устарѣвъ, они переставали баловаться, какъ они называли любовь съ разными лицами, пили водку, буянили и только съ изрѣдка отъ непорядковъ мужа или жены баловались секретнымъ образомъ. Такъ и Александръ Петровичъ съ Анной Ивановной черезъ 16 лѣтъ послѣ свадьбы не баловались, а жили вмѣстѣ какъ кошка съ собакой, ругались и дрались, и дѣти ихъ Андрей 14 лѣтъ, Марья 11 и Василиса 5 лѣтъ росли на произволъ судьбы.

*) Года три тому назадъ въ Камскѣ принимали корреспонденцію только два раза въ недѣлю и дни эти почтовыми назывались наборами.

У Александра Петровича, несмотря на его мотовство денегъ—подарки разнымъ почтальонкамъ,—деньги водились, потому что онъ съ самаго поступленія въ почтальоны пріучался носить письма за себя и за отца. Сначала ему разсказывали, гдѣ живетъ такой-то, гдѣ стоитъ домъ, въ какой улицѣ, подбирали письма такъ, чтобы онъ такую-то улицу или переулокъ, прошелъ въ одинъ разъ и не ворочался назадъ, писали и на конвертахъ карандашемъ мѣсто жительства того, на кого адресовано письмо; Александръ Петровичъ мало-по-малу запомнилъ чуть не всѣ дома въ городѣ; потомъ самъ сталъ покупать очереди. Всѣхъ почтальоновъ было четырнадцать, но изъ нихъ половина ѣздили постоянно съ почтами, а остальные восьмеро занимались—двое у двухъ сортировщиковъ—денежной и простой корреспонденціи, у письмоводителя, въ контролѣ и двое носили письма по городу, покупая очереди. Зато, чтобы купить очередь—или носить за почтальона письма недѣлю, они платили отъ 15 до 20 руб. за недѣлю и кромѣ того они наживали себѣ въ недѣлю 20—25 рублей. Эти очередные имѣли деньги, не ѣздили съ почтами, не дежурили во время носки писемъ и занимались въ конторѣ. Когда же случалось, что какой-нибудь почтальонъ носилъ письма самъ, они, очередные, дѣлали ему подборку писемъ, разсказывали, кто гдѣ живетъ и получали за это отъ рубля до трехъ рублей въ недѣлю. Александръ Петровичъ десять лѣтъ носилъ письма и съ почтой ѣздилъ раза три въ годъ. Онъ былъ богаче всѣхъ почтальоновъ; былъ станціоннымъ смотрителемъ, но прослужилъ только годъ: его смѣстили въ почтальоны за грубость ревизору. Наконецъ, на 38 году жизни, Александра Петровича, за сто рублей, сдѣлали сортировщикомъ въ губернской конторѣ. Сортировщикъ въ конторѣ уже имѣетъ голосъ; онъ получалъ оберъ-офицерскій чинъ, могъ исправлять должность почтмейстера, не имѣя чина; сортировщикъ командовалъ надъ почтальонами въ конторѣ. Жены сортировщиковъ носили шляпки, хотя утромъ ходили въ платкахъ за водой къ бочкѣ. Хотя сортировщики и жены ихъ жили отдѣльно отъ почтальоновъ, въ одномъ дому съ ними, гордились своимъ званіемъ и часто жаловались на почтальоновъ и женъ ихъ, все-таки они были грубы и никакъ не могли жить безъ нихъ. Младшій сортировщикъ получалъ жалованья 7 руб. въ мѣсяцъ, и этого жалованья, несмотря на казенную квартиру и дрова, имъ рѣдко доставало, потому-что на семь рублей нужно было купить муки, мяса, чаю, сахару и завести одежду. Вотъ эти сортировщики, занимаясь разборкою почты и въ контролѣ, ревизуя книги и документы уѣздныхъ почтовыхъ конторъ, отдѣленій и станціонныхъ смотрителей, придирались къ каждой ошибкѣ, писали нахлобучку—и на контроль часто присылали денегъ. Старшихъ сортировщиковъ было два—одинъ у простой корреспонденціи, занимавшійся пріемомъ пакетовъ, разсортировкой по городамъ писемъ и пакетовъ, запиской ихъ въ реестры и отсылкой въ постъ-пакетахъ, раздачею журналовъ и газетъ, и другой у денежной корреспонденціи, должность котораго состояла въ веденіи порядка при пріемѣ денежной, страховой и посылочной корреспонденціи. Эти сортировщики получали жалованья девять рублей, да вольная почта платила имъ по три рубля. На этомъ жалованьи можно было жить, но кромѣ жалованья они имѣли готовый чай, сахаръ, свѣчи и даже муку—приношеніе богатыхъ корреспондентовъ. Контролеру присылаютъ почтмейстеры за отчеты, письмоводитель ворочаетъ всей губерніей и есть второе лицо послѣ почтмейстера, потому-что иной почтмейстеръ знаетъ только какъ принимать и отправлять письма, а сочинить бумагу, или отписаться въ почтамтъ, предоставляетъ письмоводителю, который съ своей стороны указываетъ почтмейстеру, кого нужно уволить въ отставку, перевести, опредѣлить, за что беретъ большія деньги. Старшой надъ почтальонами, имѣющій званіе унтеръ-офицера, распоряжается почтальонами и смотрителями всей губерніи и съ своей стороны наживаетъ большія деньги, и, ходя каждое утро съ рапортомъ къ почтмейстеру, онъ можетъ пожаловаться на кого только ему вздумается. Губернскій почтмейстеръ беретъ съ кого только ему нужно получить, потому-что всѣ почтовые въ губерніи въ его власти; кромѣ этого онъ получаетъ подарки и отъ корреспондентовъ. Давать корреспонденту почтовымъ, кромѣ почтальоновъ, рѣшительно не за что, но почтовые требуютъ, считаютъ обязанностію богатыхъ корреспондентовъ дать, иначе могутъ не отправить письма, продержать деньги, зная, что если на нихъ будутъ жаловаться, они отпишутся...

Богатые корреспонденты даютъ почтмейстеру, помощнику и сортировщикамъ, сами не зная за что, только потому, что давать въ Новый годъ и къ Пасхѣ давно ввелось, и почтовые безъ нихъ бы плохо жили. Можетъ-быть, почтовые чиновники и не брали бы деньги, чай и сахаръ и прочее отъ богатыхъ корреспондентовъ, но они теперь незавидно обезпечены. Губернскій почтмейстеръ, имѣющій чинъ статскаго совѣтника, равный предсѣдателямъ, получаетъ жалованья около 400 руб. въ годъ, тогда какъ предсѣдатели получаютъ по двѣ тысячи въ годъ; уѣздные почтмейстеры, равные судьямъ, исправникамъ, имѣющіе чины коллежскаго асессора (большой чинъ въ уѣздномъ городѣ) получаютъ жалованья отъ 11 до 18 руб. въ мѣсяцъ, смотря потому, котораго класса контора. По этому не удивительно, что во многихъ уѣздныхъ городахъ почтмейстеръ, имѣющій въ распоряженіи четыре рубля на наемъ квартиры, на дрова и на канцелярскіе матеріалы, живетъ въ дрянной квартирѣ съ огромнымъ семействомъ, удѣляя для конторы комнатку, срываетъ съ старыхъ писемъ марки и продаетъ ихъ за ту же цѣну, что стоятъ новыя, пользуется иногда бумагой изъ земскаго суда, проситъ нахально денегъ у корреспондентовъ и отдаляется отъ общества, не имѣя возможности устроить вечеръ или играть въ карты, быть въ гостяхъ, пригласить кого-нибудь къ себѣ; ничего не читаетъ. Говорятъ, что почтовымъ чинамъ будетъ прибавка жалованья. Хоть почтовая служба неголоволомная, однако же требуетъ большого труда и терпѣнія. Принять, записать и отправить письма и почты—дѣло кажется пустое, но требуетъ осторожности, а по большимъ трактамъ, по которымъ проходятъ каждый

день почты, нужно даже вставать ночью и такимъ образомъ происходитъ то, что почтовые чины работаютъ круглый годъ, не зная праздниковъ.

Проводивъ почту часу въ десятомъ, Александръ Петровичъ, отъужинавъ, сталъ писать остальныя письма и опять разругался съ женой зато, что она просила его купить ей матеріи на салопъ. Все-таки, кончивъ письма, онъ легъ спать съ женой и сталъ совѣтоваться съ ней.

— Ну, письма написалъ, теперь только послать осталось,—говоритъ онъ.

— Пошли опять со сторожемъ!

— Не знаю, кому довѣрить.

— Пошли съ Тимоѳеичемъ, онъ опять не принесетъ тебѣ фунтъ чаю, какъ въ прошломъ году.

— Молчи ты!

— Ну, и пошли его, попробуй?

— Будь ты проклята!

Минутъ двадцать супруги не спали.

— Ты пошли лучше Андрюшку,—сказала Анна Ивановна.

— Безъ тебя знаю, кого послать.

Часа полтора супруги не спали, ворочались съ боку на бокъ, думая объ интересахъ, о томъ, много ли они получатъ нынче денегъ и чаю...

— Андрюшка! вставай дьяволенокъ!—закричалъ Александръ Петровичъ на другой день утромъ часу въ седьмомъ, толкая ногой старшаго сына, лежащаго на полу.

— Куда ты его гонишь ни свѣтъ ни заря.

— По-твоему такъ послать въ первомъ часу! Сегодня кажется сочельникъ: всѣ на рынокъ уѣдутъ.

— Да дай напередъ чаю напиться.

— А ты что лежишь? Я что ли долженъ самоваръ ставить. За чаемъ Александръ Петровичъ отдалъ письма сыну и разсказалъ, кто гдѣ живетъ.

— Смотри ты у меня, шельма, не потеряй письма, —задеру. Кого застанешь дома,—да смотри съ параднаго крыльца заходи,—непремѣнно самому отдай: дожидай, что онъ скажетъ, а такъ не уходи.

— Ладно, тятенька.

— Ну то-то.

— И я пойду!—сказала дочь Василиса.

— Я те дамъ «пойду».

Андрюша, бойкій ученикъ уѣзднаго училища, пошелъ въ восемь часовъ съ письмами. Первый купецъ уже уѣхалъ куда-то. Ко второму его не пустили. Однако Андрюша обходилъ всѣхъ купцовъ и повѣренныхъ, роздалъ двѣнадцать писемъ, получилъ обратно запечатанные шесть конвертовъ отъ повѣренныхъ, три фунта чаю отъ одного купца и отъ другого четыре бутылки съ винами. Домой онъ пришелъ часу въ третьемъ. Дома его ждалъ отецъ съ матерью. Въ запечатанныхъ конвертахъ вложены были деньги отъ одного до трехъ рублей. Деньги эти Александръ Петровичъ отдалъ Аннѣ Ивановнѣ, которая положила ихъ съ чаемъ въ ящикъ, а бутылки спрятала въ шкафъ. Богатые корреспонденты были поздравлены, осталось еще семь писемъ къ небогатымъ и слывущимъ за скупыхъ. Эти письма Александръ Петровичъ рѣшилъ отдать почтальону.

Въ почтовыхъ домахъ, между тѣмъ, готовились къ празднику: бѣлили стѣны, мыли полы, чистили самовары; вездѣ видно было на крыльцѣ свѣжее мясо, около котораго шныряли кошки и собаки, разгоняемыя женщинами. Къ празднику готовились однѣ женщины: онѣ бѣгая, суетясь ругали мужчинъ, которые лежали или переходили изъ комнаты въ комнату и мѣшали имъ что-нибудь дѣлать. У мужчинъ былъ другой праздникъ—Новый годъ.

Въ первый день праздника Рождества Христова въ церковь ходили только дѣти: мужчины занимались въ конторѣ, а женщины стряпали и ругались, Андрюша расписывался за неграмотныхъ въ денежной книгѣ и писалъ крестьянамъ письма, за что пріобрѣлъ себѣ на праздникъ полтора рубля денегъ. Въ этотъ день всѣ почтовые разговлялись и напоздравлялись въ своихъ семействахъ до положенія ризъ: одни—Александръ Петровичъ и другой сортировщикъ у простой корреспонденціи, посылавшій такія же письма, какъ и Александръ Петровичъ—пили съ радости; другіе ставили штофъ на послѣднія деньги, въ ожиданіи Новаго года. Вечеромъ много было пьяныхъ въ конторѣ, а ночью всѣ буянили. На второй день утромъ двоихъ почтальоновъ спрыскивали съ праздниковъ въ банѣ, т.-е. дали по 25 розогъ за то, что они вечеромъ орали не на милость въ почтмейстерской.

На другой день праздника Александру Петровичу принесли четыре фунта чаю, голову сахару, и онъ отдалъ Аннѣ Ивановнѣ восемь рублей.

Весь праздникъ въ почтовыхъ домахъ прошелъ весело. Мужчины пили и пѣли, женщины наряжались въ лучшія платья, щелкали мелкіе орѣхи, прикусывая пряниками, ходили вгости изъ комнаты въ комнату, пѣли пѣсни, дѣти играли въ жмурки. Къ Новому году у многихъ не осталось денегъ ни копейки, и всѣ съ завистію смотрѣли на парадное крыльцо почтмейстера, куда то-и-дѣло привозили чай, сахаръ и вина.

Наступилъ канунъ Новаго года. Вечеръ. Почтальоны только-что пришли изъ бани. Они бѣгаютъ, суетятся, ходятъ нѣсколько разъ въ контору и домой; въ каждой комнатѣ работа: чистятъ сапоги, сюртуки, пуговицы, кортики. Смотря на мужей, жены тоже суетятся—больше перехаживаютъ отъ сосѣдки къ сосѣдкѣ, изъ комнаты въ комнату. Всѣ заняты Новымъ годомъ, поздравкою и говорятъ безумолку.

Александръ Петровичъ уже приготовилъ къ завтрашнему дню новые галстукъ, жилетку, брюки и сапоги, и отъ нечего дѣлать пошелъ въ холостую. Холостою называется комната, въ которой живутъ одни холостые почтальоны. Такъ какъ они часто разъѣзжаютъ съ почтами, то наличныхъ почтальоновъ въ ней бываетъ двое или трое. Пріѣзжіе почтальоны спятъ въ самой конторѣ на ларяхъ, столахъ и сундукахъ; въ холостую ихъ пускаютъ только посидѣть, поиграть въ карты, попить водки на ихъ счетъ.

Александръ Петровичъ сталъ играть въ шашки съ пріѣзжимъ почтальономъ. Два губернскіе почтальона чистили пуговицы, а одинъ пьяный спалъ. Въ

холостой сидѣли еще три пріѣзжіе почтальона и двое женатыхъ губернскихъ съ папиросками въ видѣ воронки, набитыми корешками.

— Въ вашемъ городѣ житуха хорошая—умирать не надо,—говорилъ губернскій почтальонъ пріѣзжему.

— Не зарься, братъ.

— Полно прикидываться; вѣдь васъ всего-то двое. Сколько вы раздѣлите отъ Новаго года?

— Что раздѣлите! Какъ бы я тамъ былъ, можетъ-быть, получилъ бы рублей десять, а теперь Горюновъ одинъ: дастъ рублей пять.

— Да вѣдь и ты то же бы сдѣлалъ. Ну, а почтмейстеръ у васъ много получаетъ въ Новый годъ?

— Ужъ, разумѣется, почтмейстеръ много получитъ, надо только съ корреспондентами вѣжливѣе обращаться, не быть собакой. Когда я служилъ въ К.... тамъ почтмейстеръ всякаго облаетъ, а мой человѣкъ смирный,—подхалюза.

— Онъ, кажется, человѣкъ бѣдный; семейство у него большое, а на одиннадцатирублевомъ жалованьѣ не много напрыгаешь. Къ тому же и здѣшнимъ шлетъ.

— Потому-то, что онъ бѣденъ и никуда не ходитъ, его всѣ ненавидятъ: жихморой, необразованнымъ называютъ.

— Вотъ въ Е... славное житье.

— Да, послужилъ таки я тамъ, побралъ деньжонки. Это ужъ всегда отъ очереди рублей тридцать получишь, потому контора хоть и первокласная, городъ большой, а почтальоновъ только семь. А почтмейстеръ тамъ богатый человѣкъ и на худой конецъ получитъ тысячъ пять. Вы бы посмотрѣли, что къ Новому году къ нему шлютъ: и сахаръ, и чай, и свѣчи пудами, муку, рыбу, что угодно. Ну и нашъ братъ дѣлилъ отъ Новаго года рублей 25 или 30.

— Отчего почтмейстеръ такъ много получаетъ?

— Каждый заводъ къ Новому году и къ Пасхѣ шлетъ пятьдесятъ или сто рублей, отъ двухъ вольныхъ почтъ сто рублей каждый мѣсяцъ получаетъ, смотрители даютъ, а такъ сколько доходовъ. Напримѣръ, онъ что дѣлаетъ. Получитъ богатый человѣкъ тысячъ двадцать, онъ и везетъ къ нему самъ деньги, ну тотъ и дастъ сто-двѣсти рублей, а сдачи три копейки не сдастъ: мелочи, говоритъ, нѣтъ, на томъ свѣтѣ жаромъ расчитаемся.

— Ребята! слышь.

За стѣной буянилъ почтальонъ.

— Что съ нимъ?

— Новый годъ встрѣчаетъ, со старымъ видно рѣшаетъ.

— А какъ, братцы, по-вашему, кто честнѣе: полицейскіе, судейскіе, консисторскіе или мы?

— Мы, братъ, честнѣе, потому намъ за дѣло даютъ, мы иной разъ ночи не спимъ, да и отправить да доставить письмо—штучка: бросить письмо легко, а тамъ жди.

— Ребятушки! Уймите вы лешаго, убьетъ!—кричала черезъ стѣну женщина и стучала въ стѣну какой-то палкой.

Почтальоны сѣли играть въ карты. Почтальонъ, спавшій до сихъ поръ, пробудился: «ишь какъ дерутся! Еще въ баню захотѣлось».

Въ холостую вошла женщина. Волосы ея были растрепаны, платье изодрано.

— Что я съ нимъ, съ варнакомъ, стану дѣлать! Купилъ къ праздику четверть, и ту разбилъ... Ахъ бѣда какая!

— Ну такъ что?

— Что? Черти!.. Почтальонка, плюнувъ, ушла. Ее освистали и выругали.

— Нынѣ, братцы, годъ отъ году все хуже становится. Прежде съ Новымъ годомъ мы триста насобирывали, а теперь только полтораста, говорилъ Александръ Петровичъ.

— Вамъ что, — вонъ вашъ-то сынокъ, видѣли мы, сколько приперъ въ рождественскій сочельникъ!

— А мы къ вамъ будемъ завтра.

— Денегъ нѣтъ.

— Ну, уже не отвяжетесь.

— А что братцы, не спрыснуть ли намъ Новый годъ?—спросилъ лежавшій почтальонъ.

— А есть водка?

— О! и почтальонъ досталъ изъ-подъ кровати четвертную бутыль, съ налитой въ нее до половины водкой.

— Ишь—успѣлъ.

— Ну, давай пить! Тащи стаканы.

Почтальоны принесли два стакана.

— Вотъ подумаешь, прежде всѣмъ намъ откупъ давалъ водки даромъ, а теперь все покупай.

— Ну уже и давали-то сивуху!

— Ребя! гляди на часы?

Почтальоны посмотрѣли на стѣнные часы.

— Ну что?

— Да слѣпъ что ли—сколько часовъ-то?

— Первый.

— Эка дура голова! Да вѣдь теперь Новый годъ. Ну ребята съ Новымъ годомъ! Сидѣвшіе встали, проздравили другъ друга съ Новымъ годомъ и выпили по три стакана водки.

— Не скликать ли сюда бабъ?

— Ну ихъ! Пойдемъ лучше проздравлять мужиковъ.

— Пойдемъ! Теперь?

— Именно.

— Куда вы пойдете ночью. Ужъ завтра.

— Ну, завтра.

— А что, братцы, много ли стоитъ должность смотрителя?—спросилъ пріѣзжій почтальонъ.

— Да надо сто рублей лишнихъ имѣть.

— Ну, сто ничего.

— Ты, братъ, угости насъ завтра, коли смотрителемъ хочешь быть.

— Да я съ первой почтой ѣду.

Почтальоны, пошумѣвъ немного—пріѣзжіе ушли въ контору, женатые къ своимъ благовѣрнымъ, холостые уснули въ холостой, а Александръ Петровичъ, выпивъ надаровщинку, ушелъ домой, но тамъ жены не оказалось. Она была вгостяхъ у сортировщицы Обертихи.

Обертова, молодая женщина, пригласила къ себѣ

сортировщицъ посидѣть у нея, провести скуку, потому-что мужъ ея исправлялъ гдѣ-то далеко должность почтмейстера. Обертова была женщина простая, смирная, негордая, и ее, всѣ сортировщицы и почтальонки любили и кланялись ей, когда попададались навстрѣчу. Случалось, что женщины не кланялись другъ дружкѣ—это означало неудовольствіе ихъ между собою—и если онѣ говорили, то лаялись.

У Обертовой были четыре сортировщицы, въ томъ числѣ и Анна Ивановна, двѣ дѣвушки и одна старушка—мать старшого. Помоложе играли въ преферансъ, а постарше, въ томъ числѣ и Анна Ивановна, грызли мелкіе орѣхи и разговаривали кое о чемъ. На одномъ столѣ стояли вина. Дѣти играли въ кухнѣ въ жмурки.

— Мы нынче Евгенью обвѣнчаемъ,—говорила одна сортировщица.

— Пора ужъ ей, а то она страмитъ насъ.

— Мнѣ чего-то не хочется замужъ?—говорила одна дѣвушка.

— А такъ лучше?

— Пьетъ онъ сильно.

— А ты ужо поворожи въ крещенскій сочельникъ.

— Боюсь.

— Экая боязливая. Я скажу вамъ, какъ я ворожила. Мужъ мой ушелъ почту раздѣлывать, а я осталась одна. Больно мнѣ хотѣлось поворожить, все сердце издрожало. Потому мнѣ хотѣлось, что скоро ли мой мужъ умретъ—сами знаете какой.

— Такого озорника поискать надо. Ну что же?

— Вотъ я поставила по сторонамъ зеркала двѣ свѣчки и смотрю въ него. Съ часъ смотрѣла. Вдругъ въ лѣвой сторонѣ какъ увидала я коровью голову, испугалась, чуть со стула не упала.

— Врешь.

— Право!

— Ахъ ты!—сказала старушка—мать старшого.

— А дѣло-то дрянное вышло. Только я встала да взглянула на окно, вижу во дворѣ моя корова стоитъ и чешетъ шею объ уголъ. Я пошла во дворъ,—тпрука, тпрука! кличу корову; та подошла. Вотъ дакъ оказія!

Сортировщицы расхохотались.

— Все это вздоръ, голубушки,—эта ворожба-то.

— Агафья Ефимовна, что это Василій Степанычъ долго не женится?

— Охо голубушки, сомущаю я его, да онъ хохочетъ только.

— Вотъ душа-то: ни одной любовницы нѣтъ у него.

— Что вы, что вы—любовницы!

— А онъ хочетъ жениться?

— Да какъ же. Мнѣ, говоритъ, жену надо съ моимъ характеромъ, да съ деньгами, а то что...

— Онъ бы у смотрителя какого посватался.

— Уломать-то его не могу.

— А какъ Елена Торопова?—сказала одна сортировщица смѣясь.

— О матки, и не говорите! Ребенокъ скоро будетъ.

— Что ты?

— Вотъ конфузъ-то! Посовѣтуйте вы ей, Агафья Ефимовна, выйти замужъ, а это что же...

— Мнѣ какое дѣло; да за кого она пойдетъ?

— Да хоть за Иванова.

— Здѣсь моя баба? — спросилъ Александръ Петровичъ стряпку Обертовой.

— Здѣсь.

— Мое почтенье. Марья Карповна! Какъ здоровье?

— Покорно благодарю.

— Съ Новымъ годомъ!

— И то! Съ Новымъ годомъ! Всѣ женщины стали поздравлять другъ дружку съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, выпили винца и черезъ полчаса ушли по комнатамъ.

Въ 3-мъ часу утра почтовыхъ разбудили: пришла почта. Они, потолковавъ: не лучше ли теперь поздравить почтмейстера съ Новымъ годомъ и, рѣшивъ, что завтра лучше, стали разбирать почту и провозились съ больными головами до 6 часовъ утра.

Въ 6 часовъ утра пошли къ почтмейстеру сортировщики, письмоводитель и контролеръ, потомъ помощникъ почтмейстера и всѣ грянули: съ Новымъ годомъ!

— Благодарю, равнымъ образомъ. Сегодня у меня господа для васъ будетъ закуска приготовлена. Въ первомъ часу приходите.

— Покорно благодаримъ.

Когда эти ушли, къ почтмейстеру ввалились восемь почтальоновъ, два сторожа и старшой, въ полной формѣ.

— Съ Новымъ годомъ!—сказали они.

— И васъ такъ же. Вотъ вамъ пять рублей. Дай Богъ, чтобы съ моей легкой руки вамъ повезло.

— Покорно благодаримъ.

— Лошадей вамъ дали?

— Тройку.

Почтальоны ушли къ помощнику, который далъ три рубля, потомъ къ контролеру, письмоводителю и къ двумъ сортировщикамъ по денежной и простой корреспонденціи. Послѣ этого они отправились по городу, сначала къ губернатору, потомъ къ архіерею, и визитація ихъ продолжалась до 5 часовъ вечера, когда у старшого было на рукахъ полученныхъ 86 руб. 25 коп.

Между тѣмъ женщины-сортировщицы и почтальонки поздравляли другъ дружку: жившихъ въ одномъ дому — у печки, а другихъ — у бочки съ водой, откуда каждая женщина наливала ведромъ и черпакомъ воду въ два ведра. Почтальонокъ и сортировщицъ поздравляли два ящика и просили на праздникъ денегъ. Сегодня женщины не ругались у печки и у бочки, у всѣхъ была какая-то радость и снисхожденіе другъ къ дружкѣ. Отстряпавшись, всѣ почтальонки и сортировщицы, одѣвшись въ лучшія платья, пошли поздравлять съ Новымъ годомъ мать старшого Агафью Ефимовну и, выпивъ у нея по чашкѣ чаю и рюмкѣ водки, разбрелись къ сортировщицамъ, кои были побогаче и пользовались уваженіемъ большинства. У Анны Ивановны

пили опять чай двѣ сортировщицы и четыре почтальонки. Сортировщики въ это время закусывали у почтмейстера. Завтра женщины собирались идти къ почтмейстершѣ и помощницѣ.

Вечеръ продолжался весело. Въ этотъ день старшой былъ именинникъ и далъ вечеръ всѣмъ почтовымъ, исключая почтмейстера и помощника, которые были отозваны на именины къ какому-то губернскому тузу. Оба почтовые дома опустѣли: у старшого были всѣ мужчины и женщины, за исключеніемъ больныхъ и дѣтей. Старшой этотъ былъ человѣкъ молодой, изъ семинаристовъ, смирный и неглупый человѣкъ. Онъ разбиралъ всѣ ссоры семейныхъ почтовыхъ ласково, ни на кого не жаловался почтмейстеру, какъ это дѣлалъ прежній старшой, и кромѣ того былъ шутникъ, за что его любили всѣ отъ маленькихъ дѣтей до старика водовоза-татарина. Гости сидѣли чинно, не кричали, какъ это бываетъ всегда. Мужчины сидѣли въ комнатѣ, пили чай, водку, закусывали, а женщины—около Агафьи Ефимовны въ большой кухнѣ и говорили, кто о чемъ попало. Въ 11-мъ часу вечера ужинали всѣ вмѣстѣ. За ужиномъ говорили о женитьбѣ большею частью женщины.

— Безъ жены неловко, Василій Степанычъ.

— Вотъ неловко!

— Скучно.

Василій Степанычъ, выпивъ больше, чѣмъ онъ пилъ до сихъ поръ, увлекся словами женщинъ и сказалъ:

— А я хочу таки жениться.

— Вотъ и хорошо.

— А кто невѣста?

— Не скажу.

— Нечего скрытничать-то, узнаемъ вѣдь.

— Ну ужъ не узнаете до тѣхъ поръ, пока не увидите на свадьбѣ.

Василій Степанычъ сказалъ на ушко Александру Петровичу, съ которымъ онъ былъ друженъ, что онъ женится на дочери богатаго мѣщанина.

— Съ Новымъ годомъ,—кричали мужчины, держа въ рукахъ рюмки водки.

— Съ будущей женой!—говорили дамы.

— Покорно благодарю,—говорили старшой и его мать. Часу въ двѣнадцатомъ гости разошлись по своимъ комнатамъ. Контролеръ, письмоводитель, Александръ Петровичъ и еще другой сортировщикъ ушли къ письмоводителю играть въ карты—въ стуколку. Александръ Петровичъ простукалъ тридцать два рубля, отдалъ одиннадцать рублей деньгами и свои единственные карманные часы. Домой онъ пришелъ пьяный и сердитый. Анна Ивановна всегда ругала его за карты, и изъ-за картъ происходили въ этомъ семействѣ довольно возмутительныя сцены.

— Что, опять проигрался?

— Молчи! убью!..

— Куда ты часы дѣвалъ?

— Тебѣ сказано или нѣтъ?!

— Каплюжникъ ты эдакой! пьяница!..

Александръ Петровичъ ударилъ свою жену, завязалась драка. Александръ Петровичъ выгналъ Анну Ивановну въ рубашкѣ изъ дому и заперъ двери на крючекъ. Анна Ивановна ночевала у той сортировщицы, у которой она была вчера въ гостяхъ. Утромъ она посмотрѣла на себя въ зеркало: на лицѣ были сдѣланы большіе фонари. Сортировщица хохотала.

— Съ Новымъ годомъ!

— Ахъ онъ мошенникъ эдакой! Ну какъ я теперь въ люди покажусь... вѣдь онъ меня на всю дворню осрамилъ.

— Какіе онъ вамъ фонари сдѣлалъ? Прелесть!

— Хорошо вамъ дразниться, когда у васъ мужъ смирный, коли его утюжите...

— Пойдете къ почтмейстершѣ?

— Безстыдница вы эдакая...

— Пьяница вы эдакая!

— Мерзавка!

— Вонъ отсюда!!

Вся дворня узнала, что Анну Ивановну прибилъ мужъ, что она выругала чиновницу сортировщицу и всякъ, кто ни попадался ей навстрѣчу, смотрѣлъ на нее и, улыбаясь, говорилъ: съ Новымъ годомъ, Анна Ивановна! съ обновкой!

Дома Анна Ивановна получила отъ мужа еще нѣсколько зуботрещинъ, сама искусала мужу плечо, за что онъ отодралъ ее веревкой и написалъ ей билетъ, что она можетъ идти, куда угодно. Анна Ивановна присмирѣла, никуда не шла и молчала два дня, за что мужъ раза по два въ день кормилъ ее зуботрещинами. На третій день оба супруга стали говорить, помирились руганью и для нихъ началась такая же жизнь, какъ и въ прошломъ году, съ тою только разницею, что Александръ Петровичъ купилъ своей женѣ шелковой матеріи на салопъ и взялъ изъ магазина даромъ шляпку супругѣ.

Черезъ недѣлю послѣ Новаго года жены почтальоновъ щеголяли въ шелковыхъ платкахъ и шили себѣ ситцевыя платья, а холостые почтальоны завели себѣ по однимъ дешевымъ часамъ. Они раздѣлили между собой по пятнадцати рублей новогоднихъ. Почтмейстеръ купилъ себѣ хорошую карету, а помощникъ—лошадь за двѣсти рублей...

Макся.

Корчажинскій дьячокъ Иванъ Павлычъ Максимовъ зналъ, что жена его скоро родитъ, но онъ не зналъ, кто родится, мальчикъ или дѣвочка. Ему не хотѣлось мальчика, и онъ съ четвертаго мѣсяца, какъ забеременѣла жена, крѣпко сталъ приставать къ ней по этому дѣлу.

— Слышь, жена: если ты родишь парня—бѣда тебѣ!—кричалъ онъ на свою жену.

— Отчего бы такъ?

— А оттого, что я не хочу парня.

— Ишь какой прыткій!.. Выше Бога захотѣлъ быть.

— Поговори еще. Сказано—не рожай парня, и только!

— Кого тебѣ родить-то: кобылу что ли?

— Дѣвку рожай.

— Убирался бы, пьяная рожа, въ кабакъ, да тамъ и толковалъ бы съ мужичьемъ.

И дьячокъ Иванъ Павлычъ шелъ въ кабакъ или въ гости къ какому-нибудь зажиточному крестьянину, своему пріятелю, и тамъ изливалъ свое горе. А парня ему весьма не хотѣлось, и были у него на это свои резоны такого рода: старшій его сынъ Александръ, учившійся въ философіи, назадъ тому двѣ недѣли нанялся въ солдаты; а младшій Терентій, назадъ тому мѣсяцъ, утонулъ въ рѣкѣ. Свое желаніе вотъ какъ разъяснялъ онъ и пьяный, и трезвый:

«Тратилъ, тратилъ я на нихъ деньги и все ни къ чему не привело. Родись парень, опять траться на него; а дѣвкѣ немного надо, да она и не доживетъ до десяти лѣтъ, потому что всѣ дѣвки умирали»...

«Экой я злосчастной! У людей дѣти поильцы-кормильцы, а у меня нѣтъ... Всему, вѣрно, жена виновата», разсуждалъ онъ про себя, и пьяный высказывалъ это своей женѣ.

Какъ дьячокъ ни думалъ, а жена родила-таки парня.

Дьячокъ напился пьянъ и пьянствовалъ до самыхъ крестинъ ребенка, которому дали имя Максимъ потому, что отцу показалось—Максимъ Максимовъ будетъ счастливѣе.

Началъ рости Максимъ и много онъ претерпѣлъ побоевъ отъ матери и отъ пьянаго отца. До десяти лѣтъ Максима не учили грамотѣ, а онъ только выучился играть въ разныя игры съ ребятами и надувать кого угодно. Умеръ дьячокъ. Вдовѣ трудно было воспитывать забитаго Максю, и она, по совѣту мѣстнаго священника, привезла его въ губернскій городъ къ самому владыкѣ. Максю приняли въ бурсу, а такъ какъ у его матери не было родни и имѣнія, кромѣ дома, то она, продавши домъ, ушла на спокой въ женскій монастырь.

Побои родительскіе пріѣлись Максѣ, и онъ терпѣливо сносилъ ихъ. Какъ ни грубъ былъ отецъ, все же онъ и ласкалъ иногда Максю. Однажды, передъ смертью, бывши больнымъ, онъ говорилъ сыну:

— Макся! жалко мнѣ тебя... жалко.

Макся плакалъ.

— Не хнычь, Макся! самъ пробивай себѣ дорогу... Вѣдь тебѣ много придется терпѣть... Охо-хо, какъ много.

Макся ничего не понималъ.

— Ты не вини меня, что я твой отецъ... Не я виноватъ, никто не виноватъ... Родись ты отъ благочиннаго, ты бы не такой былъ... Одно тебѣ совѣтую:—живи честно, потому что много ты плутовъ увидишь. Учись, главное, а коли не выучишься, не ходи пожалуйста въ солдаты, и въ монахи не ходи... Развѣ ужъ когда все испробуешь...

Эти слова Макся всю жизнь помнилъ.

Трудная жизнь досталась Максѣ безъ отца, безъ матери и безъ родныхъ!

Безграмотный Макся, сонный и плакса, много принялъ горя и тяжкихъ для его лѣтъ тиранствъ; ничего не понимая, онъ много выстрадалъ въ теченіе шестилѣтняго пребыванія въ бурсѣ и все терпѣлъ безсознательно, безъ всякой пользы для себя и для другихъ. Шесть лѣтъ онъ ѣлъ казенную пищу, шесть лѣтъ носилъ казенную одежду, а выучился только писать и читать, да кое-какъ пѣть. Онъ въ эти годы сдѣлался еще тупѣе, соннѣе, плаксивѣе и ничего не могъ осмыслить правильно. На розги и побои онъ смотрѣлъ, какъ на обыкновенное дѣло, и вполнѣ отдавалъ себя на произволъ своихъ благодѣтелей. О Максѣ некому было заботиться. Каждый бурсакъ издѣвался надъ нимъ и дѣлалъ, что хотѣлъ. Макся никому не перечилъ и все сносилъ терпѣливо днемъ; за то ночью отъ боли и отъ представленія себѣ своего положенія онъ долго, долго плакалъ вслухъ, на диво товарищамъ. Онъ не зналъ, какъ поправиться, какъ сдѣлаться лучше, такимъ, чтобы его уважали, и хотѣлъ онъ сдѣлаться такимъ, да не выходило.

Были у Макси два товарища, такіе же горемыки, какъ и онъ. Съ ними онъ дѣлилъ свое горе, но и тутъ было мало утѣшенія. Одно только и было утѣшеніе—это водка, которою подчивали его и его друзей звонари и пріѣзжіе дьячки. И въ это время Макся больше плакалъ, чѣмъ утѣшался. Придетъ въ заведеніе пьяный и ляжетъ спать. Товарищи тащатъ, колотятъ и всячески стараются разозлить его. Но Максю трудно разозлить. За то ужъ если Максю разсердятъ, трудно справиться съ нимъ. Всѣ дивились тогда богатырской силѣ Макси.

— Хорошій будетъ разбойникъ.

— Не попадайся на большой дорогѣ—убьетъ,— говорили товарищи.

Много у Макси было мыслей: то ему хотѣлось лучше жить, то свободы хотѣлось, то ѣхать куда-нибудь, то хоть причетникомъ сдѣлаться; но какъ все это сдѣлать? Сядетъ онъ на берегъ рѣки и много думаетъ... Не понимаетъ Макся, отчего ему такъ хорошо у рѣки сидѣть? И сталъ онъ лѣтомъ каждый вечеръ бѣгать на рѣку. Хотѣлъ утонуть разъ, да плавать умѣлъ и страшно ему показалось сдѣлаться утопленникомъ.

Не любилъ Макся, когда издѣвались надъ нимъ товарищи. Помня отцовскія слова, онъ думалъ, что будетъ же конецъ его ученію, и что онъ будетъ когда-нибудь лучше, чѣмъ теперь. Примѣромъ онъ ставилъ себѣ кончающихъ курсъ семинаріи.

Во время тихаго спокойствія друзья Макси говорили ему:

— Макся, а Макся! ты вѣдь дрянной человѣкъ.

— Такъ что, что дрянной? не все такъ будетъ.

— Не хвались.

— Ужъ никому не поддамся.

— На широкую дорогу пойдешь?

— Будь я проклятъ, чтобы я пошелъ.

— Ну-ка скажи: кто ты будешь?

Макся улыбался и молчалъ. Онъ ничѣмъ не могъ похвастаться.

Товарищи прозвали его Гришкой Отрепьевымъ, и какъ же злился Макся за это!

Начальство замѣтило, что Макся сильно пьян-

ствуетъ и, рѣшивъ, что изъ него не выйдетъ никакого толку, изъ сожалѣнія опредѣлило его въ соборные звонари.

Ужъ какъ не нравилось Максѣ быть звонаремъ! Зналъ онъ двухъ звонарей, Пашку Крюкова и Ваську Косого, да и не онъ одинъ зналъ ихъ, вся семинарія. Такихъ отчаянныхъ и плутовъ еще не бывало въ семинаріи съ тѣхъ поръ какъ ихъ вытолкали оттуда. Чего-то они не дѣлали тамъ! и не перескажешь, да и не повѣрятъ, если разсказать, что они дѣлали. Видно начальству хотѣлось усмирить ихъ посредствомъ упражненія на колоколахъ во всякую пору года, видно оно хотѣло сдѣлать ихъ благонравными и дало имъ искусъ легкій, по его понятіямъ. Хорошо и весело звонить въ охотку и въ хорошую погоду, и дѣйствительно въ Пасху звонари послѣ обѣда спятъ, потому что городскіе мѣщане и даже женщины забавляются колоколами, зато каково звонить весь годъ въ извѣстные часы, будь тутъ и морозъ, и громъ. Нужно привычку къ этому, большое терпѣніе. Поневолѣ Крюковъ и Косой были отчаянными въ обществѣ людей и знатоки своего дѣла. Максѣ они еще потому не нравились, что ругались очень крупно, дрались и постоянно пьянствовали. Однако Макся думалъ, что быть звонаремъ въ соборѣ—значитъ имѣть должность такую, которая и не трудна, и денегъ много даетъ, и отвѣтственности нѣтъ никакой. Случилось Максѣ бывать у звонарей на колокольнѣ, когда онъ *бѣгалъ* изъ заведенія, и тогда онъ понялъ, что такое звонарь. Служба ему казалась легкою, но не любилъ онъ Косого, который былъ отчаянный на всѣ штуки и самый видъ котораго очень не нравился Максѣ: хуже Косого Макся не видѣлъ людей. Крюкова Макся не любилъ за то, что про него шла дурная слава: на руку онъ былъ нечистъ и часто пьяный валялся въ оврагахъ. Помѣщались звонари въ подвалѣ подъ соборомъ, гдѣ топилась соборная печь. Въ этой съ однимъ окномъ комнатѣ, называемой пѣвчими *звонарской курьей*, былъ одинъ общій столъ и нары для сидѣнья и спанья обитателей и прихожанъ. Въ ней постоянно былъ дымъ или отъ табаку, или отъ печки. Полъ мелся кое-когда метлой, а о безобразіи и говорить нечего: всякій жилъ, какъ хотѣлъ, и дѣлалъ, что ему вздумается.

На эту должность Максю назначили зимой. Шубы у него не было. Онъ былъ одѣтъ въ единственную холщевую рубаху, не мытую мѣсяца три, худые брюки и сюртукъ, подаренные ему однимъ богословомъ, которому онъ прислуживалъ очень часто, и худые сапоги. Шапка была еще все та же, что дали ему съ начала поступленія его въ бурсу и теперь была такъ мала, что несмотря на передѣлыванье ее самимъ Максей, она плохо держалась на длинныхъ, густыхъ волосахъ Макси.

Макся пришелъ въ звонарскую курью послѣ обѣдни тотчасъ, когда ему объявили рѣшеніе начальства. Васька Косой глодалъ ржаной кусокъ хлѣба, сидя у стола, и запивалъ его водой изъ разбитаго чайника. У печки на нарахъ спалъ Крюковъ. Въ курьѣ холодно и сыро. Васька Косой знакомъ съ Максей плохо и даже не знаетъ, какъ его зовутъ.

Макся, какъ вошелъ, снялъ шапку.

— Здравствуйте,—сказалъ онъ.

— Чего тебѣ?

— Да меня въ звонари сюда назначили.

Косой посмотрѣлъ на Максю злобно и разинулъ ротъ.

— Тебя въ звонари?—спросилъ онъ.

— Меня.

Косой что-то проворчалъ.

— Кто ты такой?—спросилъ онъ немного погодя Максю.

— Я изъ уѣзднаго...

— А это чѣмъ пахнетъ?—Косой показалъ ему кулакъ. Макся ничего не понялъ и молчалъ. Немного погодя Косой спросилъ:

— Есть деньги?

— Нѣту.—Максѣ ѣсть хотѣлось, и онъ смотрѣлъ на корку, которую глодалъ Косой. Косой кончилъ ѣсть, закурилъ папироску, свернутую въ видѣ воронки, съ корешками.

— Что стоишь?—сказалъ онъ Максѣ.

— Да меня послали.

— Кто?

— Смотритель...

Косой всталъ, подошелъ къ Максѣ, схватилъ его за шею и вытолкалъ изъ курьи, сказавъ: «я тебѣ дамъ смотритель! Ишь, смотрителя нашелъ!..» Макся мерзъ на дворѣ и заплакалъ.

По двору шелъ монахъ и, увидѣвъ плачущаго Максю, сжалился надъ нимъ. Узнавши въ чемъ дѣло, онъ отворилъ дверь въ курью и сказалъ Косому: «что ты, бестія гонишь парня»!

Косой проворчалъ что-то. Монахъ ушелъ, а Макся остался въ курьѣ.

Косой завалился на лавку и смотрѣлъ на Максю, который стоялъ у дверей. Сѣсть Макся боялся. Однако сѣлъ къ столу. «Куда!», вскричалъ Косой. Макся всталъ. Такъ онъ простоялъ съ четверть часа.

— Принеси воды,—сказалъ Косой Максѣ. Макся сходилъ за водой.

— Водку пьешь?

— Пью.

— Пью! а нѣтъ, чтобы принести полштофикъ!

— Денегъ нѣту, Василій Петровичъ.

— Я тебѣ дамъ, денегъ нѣту!..

Косой пошелъ будить Крюкова, но тотъ не вставалъ, а только мычалъ.

— Ну и дрыхни, чортъ съ тобой!—сказалъ Косой и легъ на свое мѣсто, укутавшись въ свой подрясникъ, простеганный ватой.

— А ты смотри, разбуди меня въ звонокъ,—сказалъ онъ Максѣ.

— Ладно.

— Умѣешь звонить?

— Нѣтъ.

— Ну, братъ, это штуки!—и Косой повернулся на другой бокъ, зѣвнувъ на всю курью.

— Трудно развѣ?

— Натко!

— Я скоро пойму.

— Ну!—проговорилъ Косой съ достоинствомъ.

Макся подумалъ: «что онъ находитъ труднаго? Вретъ собака, денегъ ему надо»,—рѣшилъ Макся и сталъ думать о Косомъ. Онъ не залюбилъ Косого, ему страшно показалось быть въ обществѣ звонарей. «Житья мнѣ онъ нихъ не будетъ, убѣгу», думалъ онъ. Ему даже захотѣлось наняться въ солдаты... И какъ было горько Максѣ въ это время!

Косой захрапѣлъ. Макся прилегъ на полу у печки, положивъ подъ голову чурбанъ, замѣнявшій собою стулъ. Ему захотѣлось спать, и онъ, почувствовалъ въ первый разъ послѣ бурсы свободу, заснулъ и заснулъ такъ, какъ никогда не спалъ. Его разбудилъ Крюковъ, спавшій на нарахъ у печки.

— Эй! жеребецъ! — толкалъ Максю Крюковъ. Макся открылъ глаза.

— Ты зачѣмъ здѣсь, *кутейная балалайка*?

Макся разсказалъ. Крюковъ обругалъ Максю и сталъ просить съ него водки, въ видѣ поздравки. Когда Макся сказалъ, что нѣтъ денегъ, Крюковъ сталъ гнать его изъ курьи, но не выгналъ совсѣмъ потому, что Макся плакалъ и дрожалъ.

— Зубрилъ бы ты тамъ азы-то, или бы въ солдаты нанялся. Я тѣ утру носъ-то!..

Крюковъ сталъ ворчать, что ему курить нечего.

— Всякую чучу шлютъ къ намъ... голь анаѳемская! Пошелъ! тебѣ говорятъ...

Макся плачетъ.

— Постой ты у меня!—Крюковъ сталъ насвистывать что-то. Подали повѣстку къ вечерни.

— Ступай,—сказалъ онъ Максѣ.

— Не умѣю.

— Ступай, тебѣ говорятъ!

— Ей-Богу не умѣю.

Крюковъ, надѣвши шапку, пошелъ въ худенькомъ тулупишкѣ на дворъ, вытолкалъ Максю изъ комнаты и заперъ двери на замокъ. Макся хотѣлъ идти на колокольню, но Крюковъ не пустилъ его. Макся смерзъ, стоявши на холодѣ, и заплакалъ. Пошелъ было онъ къ пѣвчимъ, но тѣ прогнали его. Онъ отправился въ соборъ и по окончаніи вечерни сказалъ дьякону, что его не пускаютъ къ себѣ звонари. Дьяконъ привелъ его къ звонарямъ, сдѣлалъ имъ *нагоняй*. По этому нагоняю звонари повѣрили, что Макся назначенъ имъ въ помощники.

Вечеръ звонари провели скучно; все больше толковали о своемъ ученіи, учителяхъ и кто они такіе.

Косому 28-й годъ, а Крюкову 19-й годъ. Косой былъ дьячкомъ въ какомъ-то городѣ и за буйство и пьянство былъ представленъ на расправу въ губернскій городъ, и здѣсь его назначили въ звонари. Крюковъ попалъ въ звонари изъ философіи. Теперь они были снисходительнѣе къ Максѣ, но когда онъ разсказалъ про свою жизнь, они сказали: «дуракъ отецъ твой»... Потомъ они стали давать ему разные совѣты, какъ жить.

— Послушай, Максимовъ: если ты будешь съ нами заодно, мы научимъ тебя всему,—говорилъ Крюковъ.

— Куда ему!

— Я буду слушаться.

— Ну, то-то! Если будешь якшаться съ дьяконами, мы тебѣ шею будемъ мылить.

— Узнаешь тогда насъ! А что получишь отъ кого-нибудь, пополамъ дѣли.

— Ладно.

Пріятели отправились къ пѣвчимъ, оставивъ Максю домашничать. Макся легъ на мѣсто Крюкова и сталъ обдумывать свое положеніе. Здѣсь хотя и скверно, но все же свободнѣе, чѣмъ въ бурсѣ. «Они, кажется, ничего; сначала только, а теперь лучше»—думалъ онъ про своихъ товарищей. Косой и Крюковъ пришли пьяные и привели съ собой какого-то пьянаго дьячка.

— Ей, Макся! къ чорту!—кричалъ Крюковъ на Максю и стащилъ его съ наръ.

— Ишь, какой баринъ! Твое мѣсто вонъ гдѣ!—сказалъ онъ Максѣ, указывая къ дверямъ.

— Какъ же я тамъ буду спать?

— Спи на лавкѣ, чортъ те съѣстъ, а на чужое мѣсто не смѣй лазить.

— Холодно...

Максю обругали, какъ только могли. Потомъ Косой досталъ съ полки гармонику и сталъ наигрывать, а прочіе принялись пѣть и плясать. Макся страшно боялся безобразія его товарищей; что-де *самъ* сюда заглянетъ,—бѣда; или кто изъ начальствующихъ завернетъ, и ему достанется.

— Господа, а если ключарь придетъ...—сказалъ онъ товарищамъ. Тѣ обругали его, обругали и ключаря. Пріѣзжій дьячокъ свалился на полъ. Крюковъ столкалъ его къ печкѣ. Потомъ товарищи легли на нары къ печкѣ.

— Эй ты, чортова кукла! что сидишь?—сказалъ Косой Максѣ.

— Да мнѣ холодно.

Максю обругали и велѣли ему спать у дверей и утромъ разбудить ихъ къ заутрени. Погасили ночникъ. Стало тихо; Макся улегся, но ему было больно холодно. Макся лежалъ полчаса, проклиная свою должность и завидуя звонарямъ. Вдругъ онъ услыхалъ разговоръ товарищей.

— А много денегъ-то?—говорилъ Крюковъ.

— Рублей десять,—отвѣчалъ Косой.

— Вотъ такъ праздникъ.

— Онъ спитъ?

— Слышь, храпитъ.

Потомъ Макся услыхалъ, что кто-то всталъ. Достали огонь. Косой съ ночникомъ подошелъ къ спящему дьячку, Крюковъ подошелъ къ Максѣ. Макся зажмурилъ глаза и захрапѣлъ.

— Этотъ спитъ!—сказалъ Крюковъ.

— Ври больше. Знаемъ мы, какъ спятъ-то!... Плюнь ему въ рожу—сейчасъ соскочитъ.

Крюковъ ткнулъ Максю въ бокъ ногой, Макся открылъ глаза.

— Слышь ты, чортъ: коли будешь жаловаться—берегись!..

— Я не буду,—сказалъ Макся.

— То-то. Видишь это! — Крюковъ показалъ Максѣ кулакъ.

Между тѣмъ Косой вытащилъ изъ кармана подрясника дьячка соплявый платокъ. Косой и Крю-

ковъ сѣли къ столу. Въ платкѣ завернутъ былъ кошелекъ: въ кошелькѣ было копеекъ сорокъ мѣдными деньгами, да съ полтора рубля серебромъ; потомъ они развернули бумажку, тамъ еще бумажка и въ ней было три пакета съ надписями «секретарю, столоначальнику, на канцелярію».— Въ пакетѣ секретарю было вложено 5 р., столоначальнику 3, и на канцелярію 2 р. Больше денегъ не оказалось.

— Ты погляди, еще нѣтъ ли?—сказалъ Крюковъ Косому.

— Поди-ко ты.

— Эй, Макся, ступай пошарь у него; что найдешь, все твое,—сказалъ Максѣ Косой.

— Эка! за какое рыло?

— Не хошь ли ты...

— А что развѣ тебѣ одному пользоваться? Подай деньги сюда!—кричитъ Крюковъ.

— Не хошь ли ты знаешь чего?

— Что?

— А то, что тебѣ не за что.

Крюковъ вцѣпился въ Косого. Крюковъ осилилъ Косого.

— Ужъ отпѣтой, такъ отпѣтой и есть,—сказалъ Косой.

— Подай деньги!

— На, будь ты проклятъ!—И Косой бросилъ одинъ пакетъ.

— Давай всѣ.

Началась опять драка. Макся вступился.

— Братцы, я пожалуюсь.—Максю избили за это.

Однако миръ скоро водворился въ курьѣ. Крюковъ и Косой дали Максѣ рублевую бумажку, кошелекъ съ мѣдными деньгами и съ двумя семигривенниками положили съ платкомъ обратно въ карманъ дьячковскаго подрясника, а остальныя деньги раздѣлили между собой поровну. Максѣ заказали молчать. Макся долго не спалъ, не спалъ и Крюковъ. Макся видѣлъ, какъ онъ вытащилъ изъ кармана подрясника Косого мѣдныя деньги и бумажку.

Утромъ Максю разбудили, какъ только подали звонокъ. Косой повелъ его на колокольню и заставилъ его звонить. Съ трепетомъ принялся Макся за свое дѣло. Косой ругается, что онъ не такъ стоитъ и не такъ за языкъ берется. Дулъ вѣтеръ; Макся страшно озябъ; его трясетъ.

— Ой, не могу!—говоритъ Макся; на глазахъ у него слезы.

— Что, братъ!—хохочетъ Косой. Что *дрыгана-то сказываешь?*

— Бѣда!

— Ну, звони во вся, скачи, согрѣешься.

Макся не умѣлъ взяться за веревки, протянутыя къ колоколамъ, да у него и пальцы рукъ начали бѣлѣть. Косой показалъ Максѣ, за какія веревки нужно браться въ будни и въ праздникъ и лихо отзвонилъ три раза во вся, прискакивая и что-то напѣвая.

— Мнѣ, братъ, не холодно! — хвалился онъ и принимался наскакивать.

Около ранней обѣдни Косой отправился съ руганью къ ключарю, а Крюковъ къ эконому и оба показали Максѣ, какъ ему нужно отзвонить обѣдню. Макся съ трудомъ справилъ свою службу.

Первый и второй день прошли скучно для Макси. Товарищи его попрежнему приходили домой пьяные, хвалясь тѣмъ, что они *сбарабали*-таки сегодня по двадцати, по тридцати коп. сереб. Приходили къ нимъ и дьячки пріѣзжіе покурить. А приходили они для того, чтобы погрѣться, такъ какъ имъ долго приходилось мерзнуть около консисторской прихожей. Тутъ разсказывались разныя дѣла, закулисныя тайны и всякія сплетни, и все то, что дѣлается во всей губерніи. Звонари не переставали вытаскивать изъ чужихъ кармановъ деньги, обворовали другъ друга и дрались не на милость Божью.

Какъ бы то ни было, а Максѣ нужно было привыкать къ звонарничанью. Онъ привыкъ къ своимъ товарищамъ, учился дѣлать съ ними то же, что и они, пьянствовалъ, пѣлъ и научился обворовывать приходящихъ къ нимъ для куренья. Теперь ужъ Макся не плакалъ.

Черезъ двѣ недѣли Косой попалъ за что-то въ полицію, Крюковъ сталъ справлять его должность у ключаря, а Максю приставили къ эконому. Дѣла у эконома ему было немного. Такъ какъ этотъ экономъ не держалъ келейника, то Макся былъ у него въ родѣ слуги: мелъ полъ, чистилъ сапоги, ходилъ на рынокъ или съ бумагами и все-таки исполнялъ свою должность на колокольнѣ, чередуясь понедѣльно съ Крюковымъ, съ которымъ они звонили оба въ большіе праздники и съ которымъ онъ подружился.

Крюковъ ругалъ всѣхъ, кто былъ старше его, за то, что они обидѣли еще его отца и его считаютъ за собаку; его примѣру послѣдовалъ и Макся. Жалованья имъ полагалось по три рубля, а на эти деньги жить трудно человѣку, привыкшему пьянствовать; воровать деньги у эконома, ключаря и другихъ нельзя было, у пѣвчихъ денегъ нѣтъ.— они приглашали къ себѣ пріѣзжихъ подрясниковъ, иногда и дьяконовъ, разсказывали имъ кое-что, что знали, а тѣ покупали имъ водки, булокъ и табаку и сами разсказывали, что знали. Дьячку не жалко было заплатить соборному звонарю рубль за то, что звонарь, хвастаясь своимъ знакомствомъ чуть ли не со всѣми духовными губерніи, говорилъ имъ, гдѣ и какія есть мѣста. Пьяныхъ обиралъ только Крюковъ, да и то рѣдко, потому что пьяные рѣдко спали у звонарей. Если же случался неурожай на деньги и не на что было выпить, звонари шли на поздравку къ семинаристамъ, дьячкамъ и дьяконамъ. Они до того сдѣлались нахальны, что приходили туда, куда ихъ вовсе не звали. Ходили они на поздравку почти каждый день.

— Макся!—кричитъ утромъ Крюковъ Максѣ.

— Ну?

— Сегодня, кажется, поздравка у Матвѣева?

— Нѣтъ, не сегодня. Онъ еще не посвятился.

— А Топорковъ получилъ мѣсто?

— Какой Топорковъ?

— Ну, пріѣзжій дьяконъ.

— Не знаю.

— Узнай сегодня у *обѣдни*.

Узнавши во время обѣдни, нѣтъ ли у кого сегодня поздравки, пріятели приходили безъ церемоніи на поздравку. Хозяева не обижались этимъ. Они знали, что звонари люди *отпѣтые*, бѣдные, да и многіе подрясниковые почему-то боялись ихъ.

— Ты не шути съ нимъ. Нужды нѣтъ, что онъ звонарь, оборванецъ и пьюга: онъ, братъ, при *самомъ* ключарѣ служитъ.

— А тотъ каждый день съ благочиннымъ ѣздитъ.

— То-то и есть! *Набухвостятъ* *) такъ, что бѣда.

Звонарей знали почти всѣ подрясниковые и дьяконы губерніи, только звонари мало ихъ знали. Бывало и такъ, что они не знали, у кого они вчера обѣдали.

— Крюковъ, этотъ Елисѣевъ куда назначенъ?

— А чортъ его знаетъ. Поди-ко намъ есть дѣло до всякой шушеры!

Такія даровыя попойки и угощенія нравились Максѣ; скверно только, что звонить-то холодно. Ужъ какъ онъ ни старался накопить денегъ, денегъ все нѣтъ, какъ нѣтъ. Скопится рубля три, Макся водки купитъ, дернетъ передъ каждымъ звономъ и пойдетъ звонить. Пьяному какъ-то лучше звонить. Макся сталъ помногу пить и часто просыпалъ на улицѣ и въ домахъ свою службу, за что ему крѣпко доставалось отъ ключаря и приводилось не разъ сиживать въ полиціи.

Макся скоро научился звонарному искусству: много разныхъ пѣсенъ звонарческихъ заучилъ и разныя свѣтскія пѣсни пѣвалъ, когда звонилъ во вся. Крюковъ много зналъ напѣвовъ, и Макся многіе перенялъ отъ него. Онъ съ большимъ удовольствіемъ поплясывалъ на колокольнѣ, больше для того, чтобы согрѣться. Особенно онъ любилъ звонить во вся лѣтомъ, въ хорошую погоду и то въ вечерню. Ужъ какъ тутъ ни наплясывалъ Макся, какъ онъ ни наигрывалъ! Такъ ему хорошо казалось наигрывать на колоколахъ; такъ и хотѣлось ему сыграть лучше!.. И день ото дня онъ ухитрялся и дѣлалъ какія-нибудь штуки. Недаромъ въ городѣ говорили, нѣтъ во всемъ мірѣ такого звонаря, какъ соборный Макся!..

Съ архіерейской дворней онъ познакомился въ теченіе одного года, и вся дворня знала его и любила. Онъ ко всѣмъ умѣлъ поддѣлаться и угодить всѣмъ. Больше всѣхъ его любили пѣвчіе, которымъ онъ бѣгалъ по водку и табакъ, чистилъ сапоги и помогалъ въ чемъ-нибудь такомъ, чего они не могли сдѣлать и что имъ дѣлать запрещено. Больно былъ хитеръ Макся!.. Макся хорошо зажилъ... Зато онъ сжилъ Крюкова, котораго сослали куда-то въ монастырь, и взялъ къ себѣ въ помощники смирнаго парня, который почти каждыя будни одинъ звонилъ на колокольнѣ. Зато ужъ Макся и изважничался: пускалъ въ свою курью того, кто ему нравился, и гонялъ изъ нея бѣглыхъ уѣздниковъ, находившихъ пріютъ у него только на колокольнѣ, и часто замѣнялся ими.

Но у него была какая-то тоска. И ему хотѣлось жить лучше, чѣмъ теперь. Онъ зналъ, что хотя и ладно быть звонаремъ, и то ему; но все-таки звонарь.

Любилъ онъ лѣтомъ жить на колокольнѣ, въ маленькомъ чуланчикѣ, сдѣланномъ, вѣроятно, для жилья звонарей, съ круглымъ окномъ, въ которомъ не было ни одного стекла. Заберется онъ туда съ вечера, сядетъ у окна и смотритъ вдаль... Кругомъ тихо; только на колокольнѣ голуби воркуютъ. Задумается Макся и вздохнетъ: вотъ голубямъ что! А я-то что? Пью водку, а пользы нѣтъ... Потомъ ему сдѣлается грустно, такъ вотъ и щемитъ сердце... Заплачетъ Макся.

«Какой я есть человѣкъ! Звонарь... сволочь! Хоть бы пѣвчимъ сдѣлаться, такъ голосу нѣтъ»...

Опять сидитъ Макся, и представляется ему что-то хорошее. И кажется ему, что только онъ хуже всѣхъ, и отчего онъ такой, никакъ не можетъ понять, а только на міръ Божій сердится...

«А, черти васъ задери!»—скажетъ онъ со злостью, плюнетъ съ колокольни въ городъ и пойдетъ къ колоколамъ. Встанетъ къ большому колоколу, барабанитъ по немъ пальцами и возьметъ обѣими руками языкъ.

«Тресну же я тебя, чучу, тресну! Языкъ не скоро раскачаешь одинъ, и онъ не доходитъ до края колокола... А что, не тресну? Да ну тебя»... И пойдетъ къ периламъ, начнетъ смотрѣть на городъ. Долго смотритъ Макся и все ворчитъ.

Прошло два года. Подъ конецъ этого времени Максѣ опротивѣло быть звонаремъ и онъ сдѣлался грубъ и золъ. Меньше угождалъ пѣвчимъ и начальству и больше жилъ лѣтомъ на колокольнѣ. «Знать я васъ не хочу!»—думалъ онъ и спалъ тамъ. Въ дворнѣ удивлялись, что Макся живетъ на колокольнѣ, и рѣшили, что онъ сумасшедшій. Пролежавши два мѣсяца въ больницѣ, онъ пересталъ пить водку, хотя и ходилъ изрѣдка на поздравки. Теперь онъ ходилъ, какъ помѣшанный, и его назвали полоумнымъ.

Одинъ разъ онъ былъ у ключаря. Тотъ и говоритъ ему:

— Что ты, Максимовъ, какой нынѣ?

— Ничего.

— Какъ ничего? Ты, говорятъ, много безобразничаешь. Ну отчего ты такой?

— Надоѣло, отецъ Алексѣй, звонаремъ быть.

— Проси владыку, чтобы мѣсто далъ.

— Боюсь.

— Чего бояться! сходи.

Макся сходилъ, но владыко обѣщался дать мѣсто не иначе, какъ спросивъ эконома. Макся сходилъ къ эконому. Тотъ зналъ Максю и сказалъ:

— Тебѣ нельзя идти въ свѣтскіе. Иди въ монастырь.

— Не могу, отецъ игуменъ.

— Почему?

— Не способенъ.

— Ну, какъ знаешь. Только я тебя знаю и

*) Т. е. наговорятъ, насплетничаютъ.

совѣтую идти въ монастырь, а теперь скажу, что я владыкѣ не могу похвалить тебя.

Владыко призвалъ Максю и сказалъ ему:

— Я тебя назначаю послушникомъ въ третьеклассный монастырь.

Макся согласился, зная, что быть послушникомъ весьма хорошо; онъ зналъ это, какъ очевидецъ.

Годъ прожилъ Макся въ монастырѣ, большею частію исправляя лакейскія должности наравнѣ съ прочими и даже больше. Онъ былъ смирный парень и ему доставалось много побоевъ отъ своихъ сотоварищей и прочей братіи.

На этой должности Макся ничего не пріобрѣлъ себѣ; но ему нравилась эта жизнь.

Когда Максю спрашиваютъ объ этомъ періодѣ жизни, онъ только рукой машетъ и совѣтуетъ лучше самимъ познакомиться съ такимъ бытомъ.

Разъ его нашли пьянаго въ канавѣ черезъ три дня послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ своей квартиры. За это его переслали въ губернскій городъ, а тамъ его исключили изъ духовнаго званія и препроводили при бумагѣ въ губернское правленіе.

. . . . . .

Пошелъ нашъ Макся, какъ говорится, слань шатать, сталъ дороги утаптывать. Цѣлый мѣсяцъ прожилъ въ городѣ безъ всякой работы и пилъ ежедневно водку. Прокутивши со старыми знакомыми всѣ деньги и спустивши съ себя все лишнее имущество, онъ пошелъ искать себѣ службы. Послужилъ онъ въ губернскомъ правленіи два мѣсяца по волѣ, ему дали жалованья три рубля. Макся разсердился и пропилъ три рубля. Былъ у него въ почтѣ одинъ знакомый почталіонъ, исключенный философъ, къ нему онъ пошелъ посовѣтоваться.

— Оно, братъ, ничего; служба наша легкая, знай разъѣзжай; а писаніе у насъ такое, что всякій лавочникъ съумѣетъ вписать, что куда слѣдуетъ. Только, братъ, у насъ начальства пропасть,—говорилъ ему почталіонъ Лукинъ.

— Такъ что, что пропасть?

— Служба наша чисто солдатская: ни днемъ, ни ночью нѣтъ покою.

— Такъ что, что трудная? лишь бы попасть...

— Видишь ты, другъ любезный, какія дѣла-то: ты будешь на линіи солдата.

— Врешь!

— Ей Богу. Ну, да это ничего. Не я и не ты одинъ въ почталіоны поступаемъ: у насъ полгуберніи изъ духовныхъ напринимано, и почтмейстеръ-то изъ дьячковъ.

— Вотъ и дѣло: значитъ нашъ.

— Нынче эта почта, скажу я тебѣ, притонъ нашему брату; всякій сюда идетъ. Даже одинъ протопопскій сынокъ почталіономъ служитъ. Только за опредѣленіе деньги берутъ.

Лукинъ посовѣтовалъ Максѣ попросить старшаго надъ почталіонами, т. е. унтеръ-офицера, который, командуетъ не только надъ всѣми почталіонами, но и надъ станціонными смотрителями, а въ нѣкоторыхъ и надъ сортировщиками.

— А что это за звѣрь такой—старшой?

— Такой, что вся сила въ немъ. Какъ командиръ надъ рядовыми солдатами, онъ дѣлаетъ съ нами что хочетъ: захочетъ послать меня съ почтой, пошлетъ, не захочетъ, не поѣду. Далъ ему взятку, смотрителемъ попроситъ сдѣлать, не понравишься, пожалуется почтмейстеру и тебя переведутъ въ самую бѣдную контору. Однимъ словомъ—сила. Его и ямщики, и смотрителя боятся, потому что почтмейстеръ его любитъ; онъ всегда при почтмейстерѣ: ходитъ къ нему съ рапортомъ каждое утро и ѣздитъ съ нимъ по эпархіи (по губерніи, то-есть).

— Ну, и доходно?

— Квартира готовая, жалованья намъ идетъ по 4 руб. сер. въ мѣсяцъ, да отъ очередей, т. е. отъ носки писемъ получаемъ рублей по 8 въ мѣсяцъ. Въ новый годъ и въ Пасху ѣздимъ славить по городу и потомъ дѣлимъ руб. по пятнадцати и больше на брата. Когда съ почтой ѣздимъ, насъ поятъ водкой, угощаютъ. Особенно мы отдыхаемъ и гуляемъ въ уѣздныхъ конторахъ.

— Дѣло. Ну, а эти старшіе-то?

— Почтмейстеръ нашъ получаетъ 32 р. въ мѣсяцъ и вѣроятно по зависти, что онъ статскій совѣтникъ и ровенъ разнымъ предсѣдателямъ, которые получаютъ жалованья по двѣсти руб. въ мѣсяцъ, онъ пріучилъ народъ, т. е. корреспондентовъ такъ, что они шлютъ ему къ Рождеству или Новому году и къ Пасхѣ чай, сахаръ, а то и муку. Это въ обычаѣ у богатыхъ купцовъ. И эта манера привилась къ его помощнику, двумъ сортировщикамъ у простой и у денежной корреспонденціи и къ старшому, которые получаютъ вмѣстѣ съ письмоводителемъ и контролеромъ жалованье отъ вольной почты.

— Жить можно!

— Еще бы!.. Говорятъ, что намъ обѣщаютъ прибавки жалованья, да молчатъ все.

— Такъ надо поступать скорѣе.

Лукинъ далъ Максѣ десять рублей денегъ и послалъ его къ старшому.

Черезъ недѣлю Максю приняли въ почталіоны, съ обязательствомъ прослужить въ почтѣ пятнадцать лѣтъ.

Исключеннымъ семинаристамъ, людямъ бѣднымъ, очень трудно поступить на коронную службу. Хорошо, если у нихъ есть знакомые или товарищи, занимающіе должности столоначальниковъ, но и тогда примутъ на службу только въ такомъ случаѣ, если есть вакансія. Самые бѣдные изъ нихъ искали мѣста въ почтовой конторѣ, но и тамъ даже вакансій почталіоновъ не бывало въ теченіи двухъ мѣсяцевъ. Кажется, должность почталіонская незавидная, но и за нее брали деньги, или нужна была рекомендація вліятельнаго человѣка. Прежде почталіонъ считался наравнѣ съ рядовымъ и обязывался служить почтѣ двадцать или пятнадцать лѣтъ. Непринадлежавшіе почтовому вѣдомству могли выходить оттуда, но съ правомъ записаться въ податное состояніе, а принадлежавшіе

имѣли право выходить не иначе, какъ получивши чинъ оберъ-офицера. Почтальонъ не получалъ чина вовсе и могъ, прослуживши сто лѣтъ почтальономъ, умереть, не имѣвши званія унтеръ-офицера. Это зависѣло или отъ самого почтальона, или отъ почтмейстера. За деньги или по взгляду почтмейстера почтальонъ могъ быть сортировщикомъ или станціоннымъ смотрителемъ и получалъ чинъ по званію канцелярскаго служителя по установленному закономъ порядку. Съ человѣкомъ, принадлежавшимъ почтовому вѣдомству, дѣлали, что хотѣли: его наказывали розгами, смѣщали въ сторожа и отдавали въ солдаты.

Макся одѣлся въ форму и помѣстился жить въ дворнѣ губернской почтовой конторы въ числѣ четырнадцати почтальоновъ.

Губернская контора помѣщается въ угловомъ каменномъ домѣ, и въ этомъ же домѣ живетъ почтмейстеръ; рядомъ съ этимъ домомъ построенъ флигель, гдѣ живутъ письмоводитель, контролеръ и помощникъ губернскаго почтмейстера. Противъ нихъ дворъ, потомъ амбары съ погребами, сараями. Черезъ дворъ помѣщаются въ другомъ дворѣ два деревянныхъ флигеля, одинъ для сортировщиковъ, другой для почтальоновъ. Почтальонный флигель устроенъ на скорую руку и очень неудобенъ для обитателей, составляющихъ все почтовое населеніе. Въ немъ два коридора. Въ одномъ двѣ двери и эти двери идутъ однѣ въ квартиру старшаго, занимающаго комнату и кухню, а другія въ квартиру двухъ семейныхъ почтальоновъ, изъ которыхъ одинъ занимаетъ комнату, а другой кухню. Въ другомъ четыре двери, и здѣсь почтальоны живутъ такимъ же порядкомъ, какъ почтальоны въ первомъ коридорѣ, съ тою только разницею, что здѣсь больше крика, ругани и драки отъ стряпни, пьянства и проч., чѣмъ въ томъ коридорѣ, гдѣ семейство старшаго постоянно на виду. Холостые почтальоны живутъ отдѣльно въ комнатѣ и кухнѣ, а ѣдятъ у семейныхъ почтальоновъ. Въ этой холостой поселился и Макся и сталъ на хлѣбы къ семейному почтальону по 20 копеекъ въ сутки.

Съ перваго же дня Максю удивила обстановка почтовой жизни. Онъ увидѣлъ такой безпорядокъ въ почтальонскихъ семействахъ, какого онъ не замѣчалъ у хозяекъ-мѣщанокъ; пьянство женщинъ, ругань ихъ, драки между собой и свободное обращеніе интересныхъ особъ съ мужчинами вскружили его голову.

— А, новичокъ, здравствуй!—сказала ему одна молодая дѣвица, когда онъ вошелъ къ одному почтальону, у котораго было въ сборѣ три семьи, составляющія шесть женщинъ и двоихъ мужчинъ.

— Какъ зовутъ?—спросила другая.

— Нашего поля ягода,—сказалъ одинъ почтальонъ.

— Кутейникъ!—прибавила третья женщина, хлопнувъ его рукой по плечу.

— Ну, обстригемъ.

— А когда *спрыски* будутъ? Позовешь?—приставала вторая женщина и закурила папироску съ корешками русскаго табаку.

— Позову.

— То-то... Мы тебѣ пѣсенку споемъ, такую залихватскую!

— Куды тебѣ! Ты ее, Максимъ Иванычъ, не слушай, она всѣхъ молодыхъ скружила да надула.

— Слушай ты ее, дуру набитую.

— Ты хороша, модница... Ужъ бы не хвасталась... Зачѣмъ съ Петрушевымъ таскаешься?

— Молчи, харя!—и женщина плюнула въ лицо обижавшей ее.

— Ну-ну! смирно, вшивая команда!—закричалъ имъ одинъ почтальонъ и прибавилъ Максѣ:—ты не больно слушай ихъ, нужды нѣтъ, что онѣ пасти-то разинули. Ишь, какъ ревутъ во все горло!

— У насъ здѣсь очень просто; всѣ друзья, и другъ друга не выдаемъ. Смотри и ты никого не выдавай,—сказалъ ему Лукинъ.

Макся узналъ также, что всѣ почтальонши и дѣвицы любятъ, чтобы мужчины называли ихъ барынями и барышнями и обижаются, если ихъ не называютъ такъ.

Въ первый же день его вступленія въ почтовый домъ ему ночью привелось видѣть нѣсколько сценъ. Пришла почта. Въ это время онъ дежурилъ въ конторѣ. Почтальонъ пріѣхалъ пьяный, и его распекъ старшій за то, что онъ пріѣхалъ безъ пистолета и сабли, и предварительно сдачи почты сводилъ въ баню, гдѣ отрезвилъ его двадцатью горячими ударами розогъ, и замѣтилъ Максѣ, что и съ нимъ то же будетъ. При этомъ Макся исполнялъ съ чувствомъ и достоинствомъ должность палача.

Его удивило то, что почтмейстеръ пришелъ раздѣлывать почту въ халатѣ и раскричался на одного почтальона.

— Ты пьянъ, мошенникъ!

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше в-іе.

— Старшой, онъ пьянъ?

— Точно такъ-съ.

— Дать ему завтра двѣсти горячихъ.

Почтальонъ былъ дѣйствительно трезвый и повалился въ ноги почтмейстеру, но почтмейстеръ прогналъ его.

Старшой со злостью сказалъ почтальону въ разборной.

— Ужъ я же тебѣ задамъ! Взлуплю же я тебя!...

— Никита Иванычъ, простите!...

— Я покажу тебѣ, какъ обзывать меня воромъ!—И больно золъ былъ старшой, до того, что Максю пронимало при одномъ его появленіи, и Макся всячески старался выслужиться передъ старшимъ.

Максѣ пришлось послѣ этой почты дежурить въ конторѣ, и онъ долго дивился всему.

— Что же это такое?—спрашивалъ онъ одного пріѣзжаго почтальона.

— Это все оттого, что старшій съ почтальономъ можетъ сдѣлать все, что хочетъ. А что бабы здѣшнія такъ живутъ, такъ это не рѣдкость. Сызмалѣтства ужъ онѣ такія, мужчины ихъ избаловали.

— Оказія!... А дѣвки?

— И дѣвицы тоже...

Итакъ сталъ Макся служить почтальономъ. Въ конторѣ работы было мало. Все его занятіе состояло въ томъ, что онъ записывалъ письма и пакеты въ реестры, закупоривалъ постъ-пакеты, записывалъ получаемую корреспонденцію въ книгу. Къ этимъ занятіямъ онъ пріучился въ одну недѣлю. И они были для него очень легки. Скверно было то, что ему приводилось вставать наравнѣ съ почтовыми каждую ночь, какъ приходила почта. Къ почтовымъ онъ тоже привыкъ и уже приглядѣлся къ ихъ жизни и не удивлялся всему, что видѣлъ. Свободное время онъ проводилъ или въ семействѣ почтоваго, или игралъ въ карты и бабки, или разсказывалъ объ своей старой жизни, но въ любовныя дѣла не входилъ, боясь, что ему набьютъ бока, до тѣхъ поръ, пока одна барышня не подала ему сама повода къ этому.

Игралъ онъ во дворѣ въ бабки съ тремя почтальонами. Дворникъ отворилъ дровяной дворъ, изъ которыхъ назначались дрова исключительно для почтальонокъ и сортировщицъ. Почтальонки, сортировщицы и дѣвицы въ числѣ десяти особъ прошли мимо играющихъ.

— По дрова, бабоньки?—сказалъ одинъ почтальонъ одной дамѣ, и скосилъ глаза.

— Конечно.

— Э, дѣвоньки! задери хвосты-те!—сказалъ другой почтальонъ и ущипнулъ одну молодую барыню.

— Уйди, чортъ! Вымой напередъ лапы-те.

— Экая ты красавица писаная!... Барыня, помеломъ мазанная.

— Будь ты проклятой, рыжій песъ!—барыня плюнула.

Почтальоны подошли къ воротамъ и стали поджидать барынь. Женщины и дѣвицы стали ругать дворника за дрова и перебранивались между собой изъ-за дровъ.

— Ты зачѣмъ лишнее полѣно взяла?

— Тебѣ какое дѣло?—ругаются барыни.

— Ну-ко, Курносиха, цапни его по мордасамъ!—сказалъ одинъ почтальонъ.

— Молчи ты, немытая харя, туда же суется!...

Прошла одна почтальонка съ дровами. Почтальоны ей загородили дорогу: она плюнула одному въ лицо и ушла.

— Храбра!—захохотали почтальоны и просыпали дрова у другой почтальонки.

Макся стоялъ у дверей и смотрѣлъ на одну дѣвицу, дожидавшуюся, когда дворникъ набросаетъ ей дровъ. Она часто взглядывала на него и раньше этого, а теперь не спускала съ него глазъ.

— Эй ты, ротозѣй! Поди, тебя Марья Ильинишна дожидается,—сказала одна почтальонка Максѣ, замѣтя, что онъ смотритъ на Машу. Макся покраснѣлъ; почтальоны осмѣяли его и толкнули во дворъ. Макся неловко подошелъ къ дѣвицѣ.

— Чего тебѣ?—спросила она Максю.

— Я унесу дрова-то...

— Куда тѣ, вахлаку! Унесу, говоритъ!

— Ей-Богу унесу.

— По-моему, чѣмъ говорить, взялъ бы да и несъ!

Макся взялъ шесть полѣньевъ изъ чужой кучки, за что его обругалъ дворникъ.

— Куда, куда понесъ? Не тебѣ назначено.

— Поди-ко не все равно...

— Я тебѣ дамъ не все равно. Сказано погоди!

Макся понесъ дрова.

— Тебѣ говорятъ, брось!

— Молчи, мужикъ.

Дворникъ подошелъ къ Максѣ и такъ ударилъ его по шеѣ, что у него выпали дрова. Макся схватилъ дворника за бороду, и, Богъ знаетъ, что бы Макся сдѣлалъ съ дворникомъ, если бы не вступились почтальоны.

— Дуракъ ты эдакой! Вѣдь онъ любимецъ почтмейстерской. Онъ съ тобой можетъ сдѣлать все, что захочетъ,—говорили ему почтальоны.

Утромъ на другой день почтмейстеръ долго кричалъ на Максю и велѣлъ арестовать его въ конторѣ на цѣлую недѣлю. Храбрости Максиной всѣ дивились, а Марья Ильинишна по два вечера носила ему въ контору разныхъ кушаньевъ, секретно отъ своей семьи, хотя она была уже сосватана за какого-то сортировщика: да и послѣ свадьбы всегда кланялась на его поклоны и спрашивала: «здоровы-ли съ?». А это считалось признательностью, расположеніемъ дамы къ мужчинѣ, который свободно могъ ей скосить глаза, а въ темнотѣ и обнять.

Макся прослужилъ въ почтѣ уже два мѣсяца и изучилъ вполнѣ все почтовое общество. Это общество, населяющее дворню въ числѣ восьмидесяти человѣкъ, онъ и его товарищи раздѣляли на три части: аристократію, мелкую шушеру и чернь. Аристократію составляли почтмейстеръ съ помощникомъ, письмоводитель и контролеръ; мелкую шушеру составляли сортировщики и почтальоны, а чернь—сторожа съ кучерами и кухарками. Съ виду казалось, что все общество не гнушалось другъ другомъ, но на дѣлѣ выходило такое же различіе чиновъ и должностей, какъ и вездѣ. Почтмейстеръ гостилъ у чиновныхъ и чиновныхъ же приглашалъ къ себѣ и никогда не заглядывалъ въ обиталище сортировщиковъ и почтальоновъ, и если случалось ему бывать у старшого или у сортировщика денежной корреспонденціи, то это считалось предметомъ особенной милости съ его стороны и давало поводъ къ толкамъ, пересудамъ и зависти всей дворни: человѣкъ возвышался въ мнѣніи всей дворни, и ему завидовали. Послѣ одного посѣщенія почтмейстера къ такому человѣку, съ нимъ уже знаться остальная аристократія, и онъ самъ причислялъ себя къ аристократіи, отдаляясь больше и больше отъ меньшей братіи. Остальная аристократія рѣдко заглядывала къ сортировщикамъ, и то развѣ въ родѣ милости, какъ-то: на именины, крестины и похороны. Смотря на аристократію, церемонились и сортировщики съ почтальонами, но уже не такъ. Они происходили большею частію изъ почтальоновъ, и какъ они ни старались передѣлать себя по чиновнически, все выходило какъ-то смѣшно; и послѣ того, какъ надъ ними стали издѣваться почтальоны, они переставали важничать, но хотя дома и играли съ ними въ бабки, въ карты и ходили въ гости къ нимъ, все-таки, на

службѣ, вели себя съ достоинствомъ, желая показать, что они выше почтальоновъ. Почтальоны такіе люди, которымъ трудно выползти изъ своего званія, ненавидѣли дворню выше ихъ, и хотя оказывали имъ почтеніе на службѣ, но подъ пьяную руку ругали ихъ, и предметомъ ихъ разговоровъ было то, что случилось сегодня въ дворнѣ у лицъ старше ихъ. Каждая неловкость, каждая ошибка и каждая глупость, сдѣланная тѣми, ими осмѣивалась громко и ставилась имъ въ вину.

— Все это дрянь,—говорилъ Лукинъ Максѣ.— Ты не смотри, что они голову задираютъ къ верху, да руки засовываютъ въ карманы,—дурачье набитое. Заставь ты ихъ сочинить бумагу—никакъ не сумѣютъ. Возьми нашего старшаго, онъ едва-едва по графкамъ пишетъ.

— Зачѣмъ же насъ-то такъ мучатъ?

— Оттого, что почтальонъ здѣсь рабочій, на немъ выѣзжаютъ.

— Зачѣмъ же ему почту довѣряютъ?

— Надо же соблюсти какую-нибудь форму. Видишь, интересъ и вещи по казнѣ идутъ—и назначили почтальона для того, чтобы онъ доставлялъ всю почту къ мѣсту. Знаютъ, что почтальонъ все равно, что солдатъ, а солдата развѣ жалѣютъ? То же и у насъ. У насъ бы, кажется, дружнѣе должно быть, потому что намъ вѣрятъ болѣе интересовъ, но на насъ и свои-то даже смотрятъ хуже, чѣмъ на солдатъ. Поживи, узнаешь.

Смотря по мужчинамъ, такъ же отличаются и почтовыя барыни: но здѣсь важничанье развито въ высшей степени. Жена контролера терпѣть не можетъ жену старшаго, говоря: «мой мужъ чиновникъ, а это что! Сегодня служитъ, а завтра въ солдаты уйдетъ»; сортировщица говоритъ, что она не пара какой-нибудь почтальонкѣ. А такъ какъ въ дворнѣ трудно обойтись безъ ссоръ, то каждая сортировщица всячески старается обругать почтальонку солдаткой и имѣетъ на это такое право, что почтальонскую жалобу некому разбирать. Даже и между собой сортировщицы живутъ не очень ладно, постоянно ссорятся у печекъ, у дровъ и воды, которую возитъ на дворню ящикъ, и подчасъ дерутся, но зато по вечерамъ сходятся всѣ и толкуютъ о томъ, что имъ взбредетъ въ голову. Почтальонки и дочери ихъ также терпѣть не могутъ сортировщицъ и аристократокъ, и каждая изъ нихъ старается какъ-нибудь сдѣлать ей пакость.—«Давно ли въ люди-то попали! еще и важничаютъ. Будь-ка у моего мужа или брата деньги, и я бы не хуже ихъ зажила». — Сортировщицы часто понукаются почтальонками, и такъ какъ почтальонки живутъ зажиточнѣе и проще сортировщицъ, во-первыхъ потому, что почтальонъ пріобрѣтаетъ въ мѣсяцъ до пятнадцати рублей, а сортировщикъ только семь, а во-вторыхъ, они живутъ по-почтальонски,—то сортировщицы почти постоянно просятъ у нихъ въ долгъ то муки, то чего-нибуль. Почтальонки ни за что не пойдутъ кланяться сортировщицамъ: «голь поганая!», говорятъ онѣ; и если ихъ разсердитъ хоть одна сортировщица, то ей не будетъ покою цѣлый годъ; почтальонка обругаетъ ее на всю дворню, какъ только можетъ, наскажетъ всѣмъ, какъ она живетъ, выставитъ всѣ ея закулисныя тайны и чѣмъ-нибудь да будетъ досаждать ей: то кринку молока прольетъ на погребѣ, то говядину, лежащую на погребѣ, стравитъ кошкамъ, или чужую вещь положитъ на мѣсто вещи сортировщицы, которая, не догадываясь, кто всему виной, попадается опять въ другую непріятность.

Макся узналъ также, что всѣ женщины помнятъ долгъ и всякую благодарность, никогда ни у кого не украдутъ; съ мужьями и мужчинами обращаются запросто и пьяныхъ бьютъ безъ церемоніи и даже имѣютъ больше правъ въ семействѣ. Онѣ даже развиты гораздо лучше, чѣмъ мѣщанки. Но ему не нравилась ни одна почтовая женщина: «больно ужъ онѣ развратны»...

Въ четыре мѣсяца Макся понялъ всю почтовую премудрость, испробовавши всѣ занятія: ему приходилось заниматься у сортировщиковъ и простой, и денежной корреспонденціи, въ разборной, у контролера и у письмоводителя, и во всѣхъ занятіяхъ онъ ничего не находилъ труднаго, кромѣ препровожденія времени чѣмъ-нибудь. Даже и въ письмоводительской онъ не затруднялся переписывать бумаги и много понялъ по управленію почты. Понятливость онъ пріобрѣлъ еще въ то время, когда служилъ у эконома и бывши у настоятеля послушникомъ, у которыхъ онъ часто переписывалъ бумаги, а канцелярскую премудрость онъ пріобрѣлъ въ губернскомъ правленіи. Конечно, въ письмоводительской конторѣ онъ не все понялъ: здѣсь были дѣла по управленію почты, соображаемыя съ существующими законами и разными циркулярами, что ему плохо было извѣстно, тѣмъ болѣе, что письмоводитель скрывалъ свое искусство даже отъ почтмейстера. Макся узналъ и то, что почтмейстеръ умѣетъ только читать и подписывать бумаги, а какъ сдѣлать что-нибудь, спрашивалъ письмоводителя, который спорилъ съ нимъ и переспаривалъ его, дѣлая что ему хочется. Макся узналъ, что письмоводитель ворочаетъ всей губерніей и такая сила, что безъ него ничего не сдѣлаешь. Досадно только было Максѣ, что ему ничего не перепадало отъ письмоводителя и виноватыхъ, а онъ зналъ, что его начальникъ много получаетъ денегъ такимъ образомъ. Получается въ конторѣ жалоба, почтмейстеръ призываетъ письмоводителя.

— Это что?—спрашиваетъ онъ его.

— Эта жалоба на смотрителя.

— Выгнать его вонъ изъ службы.

— Надо вызвать его для объясненій: можетъ быть, онъ и не виноватъ.

— Ну, вызови.

Пріѣзжаетъ смотритель и идетъ кланяться къ письмоводителю.

— Дѣло плохо: тебя выгнать хочетъ.

— Помилосердуйте!—И смотритель кланяется въ ноги письмоводителю.

— Нельзя.

Смотритель даетъ ему денегъ, и письмоводитель говоритъ:

— Ладно, я попрошу. Ты поди, поклонись ему въ ноги, скажи: не виноватъ, молъ.

Сходитъ смотритель къ почтмейстеру, почтмейстеръ прогонитъ его, а когда придетъ въ контору, призываетъ письмоводителя и спрашиваетъ его:

— Шельма Корчагинъ пріѣхалъ?

— Точно такъ-съ.

— Ну, что?

— Да извѣстно, в. в-іе, всякій проѣзжающій дуракъ; дѣла не смыслитъ, а зазнается.

— Ишь шельма!.. Отписать ему, бестіи, что онъ самъ плутъ.

— Отписать нельзя.

— Почему?

— Жалобу въ почтамтъ напишетъ... Что прикажете дѣлать съ Корчагинымъ?

— Прогнать его вонъ изъ конторы; да скажи, чтобы онъ впредь этого не дѣлалъ; скажи, молъ, я ему всю шкуру спущу.

Такъ же дѣлалъ письмоводитель и съ почтмейстерами; но тѣ аккуратнѣе смотрителей—сами слали денегъ ему, и потому держались долго на должностяхъ. Уѣздные почтмейстеры, получающіе жалованье отъ 11 до 18 рублей, пріобрѣтали доходы такъ же, какъ и губернскій почтмейстеръ, который на доходы вообще смотрѣлъ какъ на необходимость.

Максѣ стыдно было ходить съ письмами по городу, но однако его заставили ходить. Подобрали ему письма по домамъ, подписали на нихъ, гдѣ кто живетъ, и пошелъ Макся по городу. Цѣлый день онъ ходилъ по городу и за каждое письмо просилъ по шести копеекъ, но ему давали по три, по десяти, и гдѣ и ничего не давали. Послѣ семи путешествій по городу Макся узналъ почти всѣхъ жителей, кто гдѣ живетъ, и ему очень понравилось носить письма, и Максю многіе знали въ городѣ.

Теперь Макся рѣдко пилъ. Выпивалъ онъ передъ обѣдомъ и ужиномъ, но допьяна не напивался; пьянъ онъ напивался только, когда въ почтѣ бывали праздники, въ которые напивались всѣ почтальоны и сортировщики, и даже женщины. Вообще, Макся былъ на счету у начальства, и даже самъ почтмейстеръ ласково смотрѣлъ на него. Разъ онъ даже удостоилъ его своимъ вниманіемъ. По случаю болѣзни старшаго, Макся, бывши дежурнымъ, пошелъ извѣщать почтмейстера, что пришла почта.

— Кто ты такой?—спросилъ его почтмейстеръ.

— Почтальонъ, в. в-іе.

— Знаю, что не чортъ! Кто ты такой, тебя спрашиваютъ?

— Максимовъ.

— Пьешь водку?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Врешь, шельма! Узнаю—всю шкуру спущу... Кто у тебя отецъ?

— Дьячекъ былъ, теперь умеръ.

— Ишь шельма!... Зачѣмъ онъ тебя въ почтальоны стурилъ?

— Онъ давно умеръ...

— Подай мнѣ умыться.

Макся подалъ, и почтмейстеръ обругалъ его за то, что онъ лилъ воду неловко. Послѣ умыванья онъ напялилъ на почтмейстера сапоги, сюртукъ, и прислуживалъ такъ рабски и смотрѣлъ такимъ невиннымъ, что почтмейстеръ похвалилъ его.

— Ну, смотри, парень, служи хорошо, я тебя въ смотрители произведу. Даромъ сдѣлаю.

Макся не утерпѣлъ и разсказалъ объ этомъ почтовымъ: тѣ много дивились. Но Максю за что-то не любилъ старшій и искалъ случая повредить ему. Разъ была почта ночью. Макся задѣлывалъ чемоданъ. Набивши свинчатку, онъ сказалъ почтмейстеру:

— Печати хороши, в. в-іе.

— А, это ты?—спросилъ почтмейстеръ Максю.

— Точно такъ-съ, в. в-іе.

— Старшій, есть вакансіи смотрителей?

— Есть.

— Назначить его на хорошую станцію.

— Да онъ не стоитъ этого.

— Что ты врешь, мошенникъ?

— Онъ и теперь пьянъ.

— Пьянъ! Ахъ ты, рожа ты эдакая!.. Ишь, у тебя и рожа-то какая красная!—сказалъ почтмейстеръ Максѣ и подозвалъ его къ себѣ.

— Дохни!—закричалъ онъ на Максю.

Макся былъ дѣйствительно выпивши и дохнулъ на лицо почтмейстера: тотъ чихнулъ и разсвирѣпѣлъ донельзя.

— Въ отставку его, каналью!.. Въ солдаты!

Немного погодя помощникъ почтмейстера вступился за Максю: почтмейстеръ смягчился.

— Отодрать его! Дать ему двѣсти!—сказалъ онъ старшему, но помощникъ сказалъ, что Максю драть нельзя, а лучше для исправленія назначить на мѣсяцъ въ разъѣздъ съ почтами.

И Максю назначили ѣздить съ почтами полгода.

Максѣ давно хотѣлось ѣхать съ почтой, но его не пускали сначала потому, что онъ служилъ недавно, а потомъ занимался постоянно въ конторѣ и носилъ по городу письма. Почтальоны говорили Максѣ, что съ почтой ѣздить хорошо разъ пять, десять и то въ хорошее время; но проѣздивши разъ двадцать, не радъ будешь. Макся, какъ не ѣздившій никогда съ почтами, а ѣздившій нѣсколько сотъ верстъ въ каретѣ съ настоятелемъ, не вѣрилъ, что почтальоны говорятъ дѣло.

— Вотъ ужъ мнѣ такъ не надоѣстъ ѣздить съ почтами,—говорилъ онъ.

— Не хвались, прежде Богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.

— Попробуй разъ десять съѣздить—не то скажешь.

— Ладно.

Макся очень обрадовался, когда ему объявили, что онъ ѣдетъ съ перво-отходящей тяжелой почтой.

До прихода почты Максѣ дали овчинный тулупъ, шинель, саблю, сумку съ 12 патронами, съ порохомъ, съ пулями и пистолетъ. Время было зимнее.

Пришла почта; Максю стали снаряжать. Поѣвши очень плотно и выпивши на дорогу рюмки двѣ

водки, Макся надѣлъ на грудь, поверхъ сюртука, сумку, прицѣпилъ къ ней заряженный на всякій случай пистолетъ, взялъ съ собой табаку и спицъ, и сталъ дожидаться пріема почты.

Теперь Максѣ занятно сдѣлалось наблюдать за задѣлываніемъ почты. Вся корреспонденція, исключая посылокъ, закупоривалась въ бумагу, которая обвертывалась веревкой, къ концамъ которой прикладывали печать, а на одномъ боку подписывали такъ: п. п. изъ (имя города) и въ какой городъ. Потомъ эти постъ-пакеты, вмѣстѣ съ посылками, клались въ чемоданъ или баулъ, или сумку, и тамъ утискивались ногами для простора. Потомъ эти чемоданы или сумы задѣлывались петлями и къ нимъ прикладывали двѣ печати: одну на сюргучѣ, другую на свинчаткѣ. Послѣ этого чемоданы, сумы и тюки онъ записалъ на лоскуткѣ бумаги, который положилъ въ сумку, Макся стоялъ въ присутствіи, гдѣ дозадѣлывали посылочную корреспонденцію.

— Сколько принялъ?—спросилъ его почтмейстеръ.

— Двѣнадцать чемодановъ, семь сумъ и три тюка.

— Ступай.

— Счастливо оставаться, в. в-іе!

Макся вышелъ въ пріемную. Сортировщикъ у простой корреспонденціи подалъ ему подорожную, въ началѣ которой было написано правило, что онъ долженъ ѣхать безостановочно, никуда не заходить и беречь какъ можно почту. Тутъ былъ прописанъ онъ. Потомъ слѣдовали названія почты и вѣсъ ея, потомъ станціи. Макся повѣрилъ свою записку съ подорожной; оказалось вѣрно. Росписавшись въ книгѣ въ принятіи почты, Макся вышелъ надѣвать на себя шубу и взялъ саблю. Старшій вынесъ ему кучу писемъ.

— Вотъ тебѣ письма, смотри не потеряй. Когда роздашь, деньги получишь на водку.

— Покорно благодарю.

Почтовые простились съ Максей, пославъ съ нимъ поклоны и письма на станціи и города своимъ знакомымъ.

Почта накладена была на четырехъ саняхъ и поверхъ на грудахъ чемодановъ и тюковъ сидѣли ямщики, а въ пятыхъ заднихъ, на двухъ чемоданахъ и одной сумѣ, пришлось сидѣть Максѣ. Макся сѣлъ, устроился кое-какъ, поклонился почтовымъ.

— Э-эхъ! вы, вы!!!

— Фить тю!.. Ну, ну!..

Закричали ямщики, лошади рванулись; зазвенѣли колокольчики и почта пошла. Любо сдѣлалось Максѣ. Почта катитъ скоро мимо городскихъ домовъ; ямщики то-и-дѣло кричатъ и гикаютъ; народъ, идущій по дорогѣ, сторонится, а Максѣ любо, и онъ, какъ дитя, улыбается, и въ головѣ его вертятся: «что, развѣ я не человѣкъ? Наткось! глядите, какъ покатывается, да еще куда!..». Макся вытащилъ подорожную, посмотрѣлъ на цифры верстъ... «Вѣдь триста семьдесятъ! Ай да хорошо!». Миновали городъ. Макся все смотритъ по сторонамъ, да любуется деревьями, снѣгомъ, полями, дорогой, гиканьемъ ямщиковъ, звяканьемъ колокольчиковъ и ямщиками, какъ они ухитрились сѣсть на чемоданы и тюки. Любо ему, что ничего не слышно, кромѣ звяканья колокольчиковъ и крика ямщиковъ. Однако Максѣ холодно. Онъ захотѣлъ удобнѣе прилечь, но ему некуда было вытянуть ноги, потому что два чемодана заняли внутренность саней, сума, положенная на нихъ къ заду саней и служившая подушкой Максѣ, занимала цѣлую четверть саней, а другую четверть занималъ ямщикъ. Какъ Макся ни пристроится къ сумѣ, голова и спина сваливаются. Сѣлъ Макся, неловко ногамъ и спинѣ; а вѣтеръ то-и-дѣло сквозитъ; прилегъ на бокъ, голову встряхиваетъ очень больно отъ ухабовъ... Захотѣлось Максѣ устроить лучше мѣсто для себя.

— Ямщикъ! — вскричалъ онъ ямщику; тотъ обернулся.

— Чаво?

— Останови лошадей.

— Пошто?

— Поправить тутъ надо.

— Гдѣ-ка?

— Да неловко сидѣть.

— Какъ тѣ ишшо! Больше некуды сдвинуть, все мѣсто занято.

— Какъ-нибудь.

Ямщикъ остановилъ лошадей и сталъ укладывать суму...

— Ты ее положь лучше.

— Куды-ка?

— Да чтобы я сѣлъ на нее.

— Неловко будетъ, баринъ. Ужъ мы эвти дѣла знаемъ; не ты первой ѣздишь. По трою ѣздятъ—вотъ дакъ мука тогда.

— Такъ нельзя?

— Нельзя... Экіе псы, и соломки-то мало дали... Ужо я положу тебѣ на станціи соломки, помягче тожно будетъ.

Поѣхали. Максѣ показалось, что теперь ему еще хуже сидѣть.

Почта поѣхала вразсыпную, такъ что первыхъ саней не видать было, а остальные шли на большомъ разстояніи. Макся струсилъ.

— Слышь! ровно четверы сани-то были, а теперь только трои.

— Дакъ что!

— А гдѣ же тѣ-то?

— А впереди.

— Онъ поди уѣдетъ?..

— Не уѣдетъ.

Ямщикъ почти не гналъ лошадей. Дорога шла изгибами. Впереди видны были только одни сани съ ямщикомъ и лошадьми.

— Ты бы догонялъ ихъ.

— Успѣмъ.

— Право, они уѣдутъ.

— Э! А ты, баринъ, изъ новыхъ, штоля?

— Да.

— А прежъ гдѣ-ка служилъ?

— Я при настоятелѣ служилъ; послушникомъ былъ.

— А!.. Догонимъ... Э-эхъ! вы! миленькія! Пошли,

пошли!..—закричалъ онъ на лошадей. Догнавши сани, онъ закричалъ на того ямщика.

— Шевелись, что губы-то отквасилъ!

— Ну-ну!

— Пошелъ, пошелъ!..

Тотъ ямщикъ догналъ третьи сани, и такимъ порядкомъ были догнаны всѣ сани, и почта пошла по обозному, съ тою только разницею, что она шла скорѣе обозныхъ, но не такъ скоро, какъ думалъ Макся и какъ гнали ямщики по городу изъ конторы.

Ямщики нѣсколько разъ останавливались или поправлять упряжь лошадей, или закуривать трубки, или для какой-нибудь надобности. При остановкахъ, въ ушахъ Макси долго еще звенѣли колокольчики и ему казалось, что его какъ будто пошатываетъ взадъ и впередъ. Проѣхали часа два, и Максѣ казалось это время очень долго, да онъ и озябъ; у него ноги очень зябли. Все-таки онъ часто смотрѣлъ на пистолетъ и саблю.

— Много ли еще верстъ?

— Верстъ-то? Да верстъ восемь будетъ.

— Поѣзжай скорѣе.

— Ужъ знаемъ, какъ ѣхать. Доѣдемъ.

— А если не будемъ въ часы?

— Будемъ въ часы... Не твоя бѣда.

— Отчего же вы здѣсь тихонько пускаете лошадей?

— Эво! Лошади-то поди-ко свои... Тамъ-то городъ губернскій, начальство; нельзя значитъ тихо ѣхать, а здѣсь лошадки-то и отдохнутъ... А вотъ къ станціи и припустимъ. За три версты до станціи ямщики опять закричали и загикали, и почта скоро пришла на первую станцію. Макся сидѣлъ на чемоданахъ и не зналъ: идти ему или нѣтъ.

— Бачка, слѣзай.

— А чемоданы?

— Перекладывать станемъ.

Макся слѣзъ. Его встрѣтилъ станціонный смотритель.

— Вы изъ новичковъ?

— Да.

— Очень пріятно познакомиться. Да вѣдь васъ почтмейстеръ обѣщался смотрителемъ сдѣлать, мнѣ Калашниковъ сказывалъ.

Макся разсказалъ все, что съ нимъ было. Во время перекладыванья почты смотритель разспрашивалъ его объ губернскихъ почтовыхъ, хотя зналъ все, но для того, чтобы провести весело время.

— Какова дорожка?—спрашивалъ смотритель.

— Ничего.

— Ну-съ какъ тамъ?

— Ничего.

— Всѣ благоденствуютъ?

— Живы.

— А почтмейстеръ ничего?

— Ничего.

И это смотритель повторяетъ каждый день при каждой почтѣ.

Макся опять поѣхалъ и ѣхалъ такъ же, какъ и первую станцію. Настала темная ночь, безъ луны и звѣздъ, закрытыхъ облаками. Макся трусилъ, Опять звенятъ колокольчики и ямщики изрѣдка покрикиваютъ. Максѣ холодно; Максю встряхиваетъ; Макся ругаться началъ: «ну и дорожка»... На козлахъ сидѣлъ парень лѣтъ четырнадцати.

— Ей ты, мужланъ!—крикнулъ Макся парню.

Парень спитъ, хотя и держитъ въ правой рукѣ кнутъ, хлыстъ котораго заткнутъ за его поясъ.

— Ямщикъ!—крикнулъ Макся и ткнулъ его въ спину ногой.

— Чаво?—сказалъ парень и погналъ лошадей.

— Я тѣ покажу чаво! Спишь только, анаѳема!

— Знамъ какъ.

— То-то знамъ! А гдѣ тѣ-то?

— Знамо гдѣ.

— Смотри, заблудишься, вздую.

— Самъ не заблудись...

Другой ямщикъ попался ему старикъ.

— Старина, здѣсь не боязно?

— А что бояться-то, съ нами крестная сила!

— То-то... Воровъ здѣсь нѣту?

— Какъ нѣту. Здѣсь обозы подрѣзываютъ... Онномедни два мѣста чаю утащили. Говорятъ, воровъ много; мѣсто такое.

— А почты боятся?

— Ништо... Да ты бы, баринъ, соснулъ бы таперь.

— Ишь ты?

— У насъ всѣ почтальоны спятъ. Какъ лягутъ и спятъ; на станціи почитай на рукахъ выносятъ.

— Ну, ужъ я не стану спать.

— Полно, баринъ... Умычишься... Спи знай, ишшо много ѣхать-то.

Максѣ хотѣлось спать, но онъ боялся заснуть, думая, что почту подрѣжутъ, да если онъ и думалъ, что ѣздили же до сихъ поръ почтальоны, почту не подрѣзывали, и теперь, можетъ, ничего не будетъ, но онъ не могъ заснуть сидя, съ непривычки. Въ двухъ мѣстахъ онъ вываливался въ ухабахъ такъ, что его придавливало санями. Это больно не нравилось Максѣ.

Всѣ смотрителя, а гдѣ ихъ не было—писаря, были любезны съ Максей и почти на каждой станціи подавали ему по рюмкѣ водки, а тамъ, гдѣ его кормили по установленнымъ правиламъ, ему подавали по три рюмки. Послѣ этого Макся ѣхалъ бодро и только дремалъ. Въ почтовыхъ конторахъ его тоже разспрашивали о дорогѣ и губернскихъ болѣе, чѣмъ смотрителя, и онъ говорилъ, что зналъ. Почтмейстеры, знавшіе о немъ отъ почтальоновъ, жалѣли его.

Наконецъ онъ пріѣхалъ въ тотъ городъ, гдѣ ему нужно было сдать почту. Сдавши ее благополучно, онъ было пошелъ спать, но его пригласилъ одинъ семейный почтальонъ напиться чаю и покушать. Съ Максей, какъ съ губернскимъ почтальономъ и пріѣхавшимъ сюда въ первый разъ, всѣ обращались вѣжливо. Макся здѣсь напился пьянъ.

Въ этомъ городѣ Макся прожилъ двое сутокъ и въ это время ничего не дѣлалъ въ конторѣ, зная, что губернскимъ почтальонамъ не подобаетъ заниматься въ уѣздной, а уѣздные должны въ губернской и дежурить и работать. Здѣсь онъ велъ себя гостемъ и надо всѣмъ наблюдалъ. Ему не нравился городъ, который онъ прозвалъ вмѣстѣ съ людьми *вшивою*

амуниціею, не понравился почтмейстеръ, котораго онъ прозвалъ *чучей*, а самую контору назвалъ *лошадинымъ стойломъ*. Однимъ словомъ ему ничто не понравилось въ этомъ городѣ.

— Какъ это люди живутъ въ такомъ городѣ! То ли дѣло губернскій городъ,—говорилъ онъ почтовымъ этого города.

— Зато у насъ все дешевле и доходнѣе.

— Ну ужъ, все же губернскимъ быть лучше, потому что оттуда можно скорѣе получить мѣсто смотрителя,—говорилъ Макся уѣзднымъ почтальонамъ.

Макся опять поѣхалъ въ губернскій городъ.

— Ну что, нравится?—спрашивали его почтальоны по пріѣздѣ его въ губернскій городъ.

— Ничего, только холодно, да сидѣть неловко.

— Погоди, не то еще будетъ.

И стали Максю гонять, и сталъ Макся ѣздить съ почтами.

Проѣздилъ Макся съ почтами два мѣсяца къ ряду; случалось ему ѣздить даже безъ отдыха: пріѣдетъ онъ въ губернскій, его опять посылаютъ за неимѣніемъ разъѣзжихъ почтальоновъ; пріѣдетъ въ уѣздный и, если тамъ некому, его опять посылаютъ назадъ. Такъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ онъ съѣздилъ съ легкими и тяжелыми почтами пятнадцать разъ.

Ѣзда ему опротивѣла съ седьмого раза: опротивѣли ему ухабы, чемоданы, морозы, вѣтры, ямщики и многое, многое опротивѣло Максѣ до того, что онъ сталъ проклинать и дороги, и почты. Чѣмъ больше онъ ѣздилъ, тѣмъ больше ему стала надоѣдать почта.

«Ну ужъ, и служба! Правду говорили почтальоны, что ѣздить съ почтой не то, что ѣздить въ каретѣ. Я бы теперь лучше согласился звонаремъ быть», ворчалъ онъ дорогой, когда что-нибудь злило его. Больше всего злили его ямщики, т. е. злило ихъ равнодушіе: проѣдутъ городъ и цѣлыя пятнадцать верстъ пустятъ лошадей шажкомъ, хоть ты кричи на нихъ, хоть уговаривай,—скорѣе не поѣдутъ, а только говорятъ: «въ часы будемъ!»—и дѣйствительно пріѣзжали въ часы... Теперь и природа не радовала Максю. Ѣдетъ онъ въ саняхъ или высунетъ голову изъ-подъ накладки, посмотритъ кругомъ: все мѣста знакомыя. «Все дрянь! И отчего же это хорошихъ-то мѣстовъ нѣтъ? Кто же тутъ виноватъ-то»? И станетъ Макся перебирать мѣстную администрацію, да такъ и заснетъ и не разбудишь его скоро на станціи. Макся самъ не могъ понять, отчего ему спится дорогой? Лишь только завалится онъ на чемоданы, проѣдетъ верстъ пять—и спитъ. И славно ему спится: снятся ему только конторы да служащіе почты, да гиканье ямщиковъ и что онъ далеко куда-то ѣдетъ... И бурлитъ Макся со сна, ворчитъ что-то несвязно, только голову встряхиваетъ направо и налѣво, то объ накладку ударится, то она съ сумы скатится на суму, которая на груди у Макси. Макся не чувствуетъ боли, только слюни текутъ по губамъ... А ямщикамъ завидно:

— Благая же эта жизнь почтальонамъ: только ткнется въ сани или телѣгу, и дрыхнетъ всю дорогу.

Хорошо казалось Максѣ спать съ почтой и ругался же онъ, когда его будили на станціяхъ. Но и на станціяхъ онъ спалъ. Сдастъ дорожную писарю или ямщику и завалится за лавку и спитъ. Перекладутъ почту; начнутъ будить его:

— Максимъ Иванычъ, вставай! Готово.

— Гмм!—ворчитъ онъ.

— Почта готова!

— Ну, ну... сейчасъ, и Макся перевернется на другой бокъ.

Кое-какъ разбудятъ его ночью. Проснется онъ; встанетъ, возьметъ подорожную, положитъ ее безсознательно въ сумку и пойдетъ къ своему мѣсту.

— Все тутъ?—спроситъ онъ ямщиковъ.

— Нешто оставимъ?

— Ловко улажено?.. Положьте еще соломы.

— Да будетъ, Максимъ Иванычъ.

Сядетъ Максимъ Иванычъ, и какъ только забрякаютъ колокольчиками, онъ ужъ опять спитъ...

— Максимъ Иванычъ!—спроситъ бывало его ямщикъ, да посмотритъ, что онъ спитъ, и самъ задремлетъ. Лишь только остановятся лошади, Макся пробудится.

— Пріѣхали?—спроситъ онъ.

— Нѣтъ еще.

Укутается Макся и опять спитъ. Посмотритъ на него ямщикъ, и завидно станетъ ему: «экое людямъ счастье. Все спитъ!».

Максю любили всѣ ямщики зато, что онъ не билъ ихъ и говорилъ съ ними ласково. Заведетъ Макся разговоръ съ ямщикомъ объ урожаѣ: ямщикъ всю дорогу до станціи будетъ говорить объ этомъ предметѣ, пока не замѣтитъ, что Макся спитъ. Но объ урожаѣ мало было разговоровъ, потому-что бо́льшая часть ямщиковъ хлѣбопашествомъ не занималась, а толковали больше о почтовыхъ станціяхъ, почтосодержателяхъ, лицахъ, составляющихъ собою управленіе почты. Больно ямщикамъ солона кажется ихняя жизнь.

— И что это за жизнь наша! Вотъ теперича хлѣбомъ промышлять несподручно, потому, значитъ, помѣщики землю намъ дали такую, что ужасъ! Вотъ оно какое дѣло-то!.. Ну, домà-те не жалко, можно новые построить; все-жъ обижаютъ... Ну, теперича куда подешь робить? Прежъ хоша извозомъ промышляли, а теперь какъ начали эти пароходы, и мало работы... А по почтовой-то части намъ сподручно: сызмала ходимъ. Такъ и тутъ времена, слышь, настали такія, что нашему брату больно плохо. За тройку-то отъ содержателя по шести копеекъ получаемъ, а онъ беретъ по девяти, ну, да ему больше надо... Это что; а вотъ овесъ да сѣно у него беремъ, потому, значитъ, у своей-братьи продажнаго-то нѣту, а въ городъ ѣхать не рука... Ну онъ, кое стòитъ семь гривенъ, за то проситъ рубль двадцать, а самому гуртомъ-то пяти стòитъ. Такъ-то оно вотъ и выходитъ, что живемъ не сытъ, не голоденъ... А вотъ лѣтось кульеръ ѣхалъ; двѣ лошади пали; ничего не дали, кульеръ прибылъ, а мнѣ-ка и денегъ не разсчитали...

Макся сочувствовалъ ямщику, но помочь ему не могъ.

— Ты бы жаловался.

— Жаловался! Ишь ты: жаловался!... Знаешь, что съ нами дѣлаютъ за эвти жалобы?

Жалко стало Максѣ ямщиковъ, и онъ любилъ ихъ до того, что угощалъ ихъ водкой, и тѣ угощали его. Сталъ Макся крѣпко попивать водку. Онъ уже зналъ всѣ села, деревни по той дорогѣ, по которой ѣздилъ на разстояніи шести сотъ верстъ, и всѣ кабаки. Проѣдетъ онъ отъ губернскаго пять или десять верстъ и встанетъ у деревни.

— Петруха, сходи-ко въ кабакъ.

— Ладно.

Сходитъ ямщикъ въ кабакъ, принесетъ ему косушку. Половину онъ выпьетъ, половину ямщикъ, а послѣ этого спитъ. Доѣдутъ до другой деревни, другой ямщикъ остановитъ лошадей и кричитъ ямщику Петрухѣ:

— Буди Максю-то.

— Ну?

— Вишь кабакъ.

— Ишь дьяволъ! Захотѣлъ?—И опять будятъ Максю. Такъ Макся и сбился съ толку до того, что пятый мѣсяцъ постоянно пріѣзжалъ съ почтой пьяный даже въ губернскую контору. А одинъ разъ и саблю потерялъ дорогой. Такъ и сталъ ѣздить безъ сабли.

Почтмейстеръ узналъ, что Макся пьянствуетъ, и рѣшилъ гонять Максю постоянно съ почтой. Макся сдѣлался отчаяннымъ пьяницей, никуда негоднымъ почтальономъ...

Лѣтомъ ему еще хуже показалось ѣздить съ почтами: тряска непомѣрная, дожди и прочія неудобства, какія только могутъ испытать почтальоны, день ото дня мучили его, и онъ почти что не любовался ни весной, ни лѣтомъ, ни хорошими видами, которыхъ на пути очень много было.

Да едва ли какой-нибудь почтальонъ, проѣхавшій по одной дорогѣ разъ сорокъ, будетъ сонный любоваться природой, которая ему не приноситъ рѣшительно никакой пользы и любоваться-то которою онъ не находитъ удовольствія. То ли дѣло водка! Что дѣлать почтальону въ теченіе двухъ сутокъ при слѣдованіи съ почтой, на протяженіи 360 верстъ, въ дрянную погоду, по дрянной дорогѣ, подъ дождемъ и въ морозъ, и при такомъ сидѣньи?..

Случалось Максѣ и не одному ѣздить съ почтами. Ѣздилъ онъ и со смотрителями и почтмейстерами; и тогда спалъ. Пассажиры смѣялись надъ нимъ.

— Ой Макся, проспишь почту!

— Ну ее къ шуту!

— Смотри, въ Сибирь уйдешь.

— Такъ что! Гдѣ-нибудь да надо умирать.

А Максѣ больно не нравилось, какъ съ нимъ кто-нибудь ѣхалъ: смотрители и почтмейстеры хотятъ сѣсть удобнѣе, и ему достанется такое мѣсто, что ни присѣсть ни прилечь нельзя. Однако Макся и тогда спалъ.

Почтовые знали, что Макся спитъ съ почтами, но спать съ почтой дѣло такое обыкновенное, что на это не обращалось вниманія; да и теперь не обращается вниманія. Не даромъ есть у почтовыхъ поговорка: «Богъ хранитъ до поры, до случая». Почтовые знали также, что Макся возитъ съ почтой постороннихъ лицъ, но не выдавали его, потому-что бѣдному человѣку надо же какъ-нибудь нажить деньгу, да и Макся возилъ такихъ постороннихъ, которые рады были гдѣ-нибудь прицѣпиться, только бы доѣхать, и у нихъ не было никакого умысла, чтобы ограбить почту. Возилъ ихъ Макся такимъ образомъ. Посторонній условится съ нимъ раньше, дастъ рубликъ за двѣсти верстъ и выйдетъ за заставу дожидать почту съ Максей; Макся останавливаетъ ямщика у извѣстнаго мѣста. Ямщикъ знаетъ, въ чемъ дѣло.

— Я не повезу,—говоритъ ямщикъ.

— Ну полно; только до первой станціи.

— Все равно.

— Я дамъ на водку,—говоритъ посторонній. Ямщикъ получаетъ двадцать коп. и сажаетъ посторонняго, уважая Максю и вполнѣ надѣясь на него. На станціи Макся или вводилъ посторонняго въ смотрительскую канцелярію и уговаривалъ смотрителя, или, если смотритель былъ формалистъ, онъ сажалъ своего пассажира за станціей, и такимъ порядкомъ довозилъ до мѣста.

Всѣ деньги, какія водились у Макси, онъ пропивалъ. Вся его одежда, заведенная по началу его служенія въ почтѣ, оборвалась, а новую шить было не на что. Почтовые жалѣли Максю, совѣтовали ему не пить и старались какъ-нибудь поддержать его. Но онъ такъ впился, что ему трудно было не пить. Случалось, онъ и не пилъ, но только до обѣда, когда занимался въ конторѣ; зато все, что онъ ни дѣлалъ, выходило у него клиномъ. Старшій заставлялъ его дежурить, но вечеромъ Макся убѣгалъ изъ конторы, и когда выговаривалъ ему старшій и грозилъ, что онъ будетъ жаловаться почтмейстеру, Макся только ругался, и старшій, жалѣя его, спускалъ ему: отступились отъ него и почтовые, кромѣ женщинъ, которыя очень соболѣзновали о немъ. Сидитъ Макся утромъ у кого-нибудь, пригорюнившись; его обступятъ женщины три, четыре и говорятъ:

— Максимъ Иванычъ! Плохой ты человѣкъ сдѣлался, а сначала какой былъ...

— Плохой,—говоритъ онъ и морщится.

— То-то вотъ и есть. Ты самъ знаешь, что водку тебѣ скверно пить...

— Человѣкъ-то ты смирный, не буянъ... Брось ты эту поганую водку! Посмотри, сколько нынче горитъ съ этой проклятой водки.

— Не могу, бабы!—И Макся начинаетъ насвистывать съ горя...

— Экой ты какой... Ровно ты маленькій, слава тѣ Господи...

— Не могу.

— Да отчего же не можешь? Дай зарокъ не пить, и не пей. Или поручи кому-нибудь деньги на сохраненіе.

— Ну ужъ, это трудно... Ужъ я никогда не буду трезвымъ.

— Жалко. Человѣкъ ты молодой, а погибаешь, какъ червякъ.

Всѣ эти совѣты и тому подобныя слова на Максю не дѣйствовали. Находили, правда, и на него ми-

нуты, когда онъ думалъ: отчего я пью? принимался плакать, думать: дай, не буду пить, и пилъ, какъ только случались деньги или гдѣ былъ случай къ попойкѣ. Женщины даже заговоръ устроили противъ пьянства Макси. Онѣ задумали женить его: «женится, перемѣнится, не станетъ пить водки», говорили онѣ, и подговорили одну дѣвицу Наталью любезничать съ нимъ, а потомъ выйти за него замужъ. Наталья долго упиралась, не желая быть замужемъ за пьяницей, но ради своихъ подругъ рѣшилась подѣйствовать на Максю лаской. Ей было двадцать четыре года, и она была *карявая форма*, какъ ее называли почтальоны. Начала дѣло она такъ.

Рано утромъ Макся сидѣлъ одинъ въ холостой и починялъ брюки. Наталья вошла въ холостую.

— Здравствуйте, Максимъ Иванычъ! какъ поживаете?

— Помаленьку. Садись.

— Постою... Что подѣлываешь?

— Видишь, штаны починиваю.

— Вотъ оно что: нѣтъ жены, самъ и шьешь.

— На кой мнѣ ее чортъ, жену-то?

— Какъ на кой чортъ?

— Чѣмъ я ее стану кормить-то, что я за богачъ такой?

— Меньше пей... не все же богачи женятся.

— Меньше пей! Всѣ вы одно говорите: меньше пей! на свое пью, не на ваше.

— Все же неловко...

— Чего неловко?

— Безъ жены-то.

— Ну ужъ, про это я знаю. Знаю я, какъ здѣшнія-то бабы живутъ... Сволочь все!—Макся плюнулъ.

— Полно-ко, Максимъ Иванычъ.

— Не правда, что ли?

— И вы-то мужчины хороши: не клади пальца въ ротъ.

— Ну ужъ, не женюсь... — сказалъ Макся и захохоталъ, а потомъ выругался.

— А что бы, если это я навернулась...—сказала немного погодя Наталья.

— Ты-то? жидка больно...

Наталья ушла со стыдомъ и со злостію на Максю. Почтальонкамъ она разсказала, что Макся ее всячески обозвалъ; но Макся о разговорѣ съ Натальей никому не сказывалъ. Такъ дѣло о женитьбѣ Макси и кончилось ничѣмъ. Пробовала было старшиха совѣтовать Максѣ жениться и предлагала ему невѣсту,—дочь сторожа; но и этотъ совѣтъ тоже ни къ чему не повелъ.

А Макся между тѣмъ уже любилъ. Нужды нѣтъ, что онъ былъ пьяница, и у него была любовь, только не въ губернскомъ, а въ уѣздномъ городѣ.

Въ томъ городѣ, куда Макся ѣздилъ постоянно съ почтами, онъ жилъ большею частію въ конторѣ. Сначала его приглашали почтальоны къ чаю, обѣдамъ и ужинамъ, но когда увидѣли, что Макся денегъ не платитъ и выгоды отъ него никакой нѣтъ, его не стали приглашать. Не приглашали его еще и потому, что онъ былъ постоянно или съ похмѣлья, или пьянъ. Если онъ придетъ съ похмѣлья,—проситъ денегъ на водку и, стало быть, смущаетъ мужей на попойку. Жены боялись пьяныхъ мужей, которые трезвые рады были выпить, и какъ попала имъ одна рюмка, они и пошли катать цѣлый день, да еще и другой день будутъ пить до тѣхъ поръ, пока не высосутъ всѣ женины деньги; пьяный Макся никому не давалъ покою своею руганью и своимъ гиканьемъ. Макся очень любилъ гикать. Сидитъ ли онъ насупившись, стдуваясь и пошатываясь, или лежитъ на полу то-и-дѣло гикаетъ, что есть мочи: «и-ихъ! вы!!» и еще того пуще прибавитъ «и-ихъ! вы-ы!..», и эти звуки усиливаетъ все больше и больше, мотая головой съ закрытыми глазами. И не любитъ Макся, если его лишаютъ этого удовольствія: обругаетъ онъ, какъ только можетъ. Но тѣмъ онъ хорошъ, что никогда не лѣзетъ драться. Уѣздный почтмейстеръ снисходилъ къ Максиной слабости вѣроятно потому, что Макся былъ честенъ и трезвый охотно помогалъ почтальонамъ. Надъ трезвымъ Максей даже шутилъ почтмейстеръ; однако шутки его Максѣ не нравились, и онъ только ядовито улыбался, но эта улыбка никѣмъ не понималась.

Нѣсколько разъ приводилось Максѣ бывать съ губернскимъ почтальономъ Ермолаемъ Борисычемъ Романовымъ у его подруги Анисьи Ѳедоровны, вдовы почтальона Тарасова. Анисья Ѳедорова была женщина 28 лѣтъ, некрасивая, но добрая и много сочувствующая Максѣ. По началу Макся ходилъ къ ней пьяный съ Романовымъ, за что Романову доставалось крѣпко отъ его подруги. Макся ничего не помнилъ пьяный, и всѣ ругательства Тарасовой были ему передаваемы на другой день Романовымъ. Макся извинялся, какъ умѣлъ.

— Отчего не ходить, я гостямъ рада, только дебоширить не надо... Вѣдь ты не въ кабакъ пришелъ, —говорила трезвому Максѣ Тарасова.

— Не могу, характеръ такой, — оправдывался Макся.

— Воздержись.

И Макся почему-то старался воздержаться, т. е. не сталъ приходить пьянымъ къ Анисьѣ Ѳедоровнѣ. Онъ приходилъ къ тому убѣжденію, что Тарасова женщина ласковая, что если она не любитъ пьяницъ, стало быть это нехорошо. Но какъ ни крѣпился Макся, а все-таки находилъ возможность быть пьянымъ.

Однажды онъ сидѣлъ пьяный у Тарасовой. Романова не было. Ужинали. Тарасова смотрѣла на Максю съ сожалѣніемъ, хотя и сама была крѣпко выпивши. Макся былъ положительно пьянъ и насупившись смотрѣлъ въ чашку. Глаза жмурились, жирное его лицо отсвѣчивалось, на усахъ болтались крошки ржаного хлѣба. Въ комнатѣ ихъ было двое.

— Максимъ Иванычъ...

— А!—безсознательно сказалъ Макся, мотнувъ головой, и раскрылъ глаза.

— Жалко мнѣ тебя. Много ты водки пьешь.

— И-ихъ! вы!!—гикнулъ Макся и ударилъ по столу лѣвымъ кулакомъ.

— Макся! голубчикъ!—и Анисья Ѳедоровна взяла лѣвую руку Макси.

Макся въ первый разъ слышалъ такіе слова, онъ широко раскрылъ глаза и дико смотрѣлъ на Анисью Ѳедоровну.

— Посмотри ты на себя, Макся, пожалѣй ты себя-то ради Господа Бога!..

— Эхъ!.. Плевать я на васъ хочу!—И Макся рванулся такъ, что полетѣлъ со стула на полъ. Большихъ усилій стоило Анисьѣ Ѳедоровнѣ стащить Максю къ постели. Она втащила его на свою постель, а сама улеглась на полъ. Утромъ Анисья Ѳедоровна обругала Максю.

— Пьяница ты горькая! Креста-то на тебѣ нѣтъ... Сейчасъ вонъ изъ моего дома, чтобы и ноги твоей не бывало здѣсь у меня... Что ты мнѣ вчера наговорилъ, безстыдникъ эдакой — Макся ничего не понималъ. Онъ крѣпко запечалился: «одна была у меня добрая женщина, одна она только не обижала меня, и та гонитъ»... Двѣ недѣли Макся не ходилъ къ Анисьѣ Ѳедоровнѣ и въ это время, Богъ знаетъ, до чего, онъ мучился. Онъ сталъ пить меньше водку и думалъ много о своемъ положеніи. Ѣдетъ, напримѣръ, онъ съ почтой, смотритъ вдаль безсознательно, чувствуется тоска какая-то... Разсердится Макся, плюнетъ, завернется въ шинель, не спится... «Эхъ бы, Анисья Ѳедоровна пожалѣла меня! Такъ нѣтъ, и та считаетъ меня хуже послѣдней собаки»... И ему становится хуже, хуже оттого, что онъ дрянной человѣкъ и дряннымъ такимъ съ дѣтства сдѣлался... «Морда ты эдакая, гадъ!..»—ворчитъ Макся, и самъ не знаетъ, кого онъ ругаетъ. И долго думалъ Макся; и слезы его проймутъ, и ничего не придумаетъ хорошаго, кромѣ того: «эхъ, Анисья бы Ѳедоровна не сердилась, ужъ я бы»... Что бы онъ сдѣлалъ, онъ не можетъ придумать: отстать отъ водки не можетъ, угодить чѣмъ ей — не знаетъ, подарить ее—обидится.

Шелъ онъ на рынкѣ трезвый и думалъ о томъ, что ему не на что выпить. Попалась навстрѣчу Анисья Ѳедоровна.

— Здравствуй, Макся!—сказала она

— Здравствуйте, Анисья Ѳедоровна.

— Что же ко мнѣ не зайдешь?

— Боюсь.

— Приходи сегодня.

Макся пришелъ трезвый и засталъ у нея какого-то приказнаго. Когда приказный ушелъ, Анисья Ѳедоровна выставила на столъ полштофъ водки. Послѣ двухъ рюмокъ она завела съ Максей такой разговоръ:

— Отчего ты, Макся, не женишься?

— На лѣшемъ что ли?

— Зачѣмъ на лѣшемъ?

— Не хочу, Анисья Ѳедоровна.

— Вотъ видишь, Макся, пьянство до добра не доводитъ. Будь ты трезвый, тебя бы полюбила дѣвушка, и ты бы хорошій былъ человѣкъ.

— Наплевалъ бы я на...

— Не плюй въ колодецъ, пригодится...

— Не хочу!.. не тронь меня...

— Неужели у тебя желанья такого нѣтъ?

— Желанья нѣтъ? Есть!.. Да что толку-то?.. Ну, кто захочетъ со мной жить?

— Правда твоя... Только бы ты попробовалъ.

Макся крѣпко задумался.

— Анисья Ѳедоровна!—сказалъ онъ вдругъ.

— Что?

— Э, да нѣтъ ужъ!..Не стоитъ.—И Макся выпилъ сразу двѣ рюмки водки.

— Ну, что же?

— Да нѣтъ ужъ... Гдѣ мнѣ!..

Больше отъ Макси Анисья Ѳедоровна ничего не добилась, а Макся опять мучился недѣлю и проклиналъ себя, что онъ не сказалъ ей, что она для него одна въ мірѣ добрая душа, и для нея бы онъ на все былъ готовъ. Про Максю говорили въ это время въ обѣихъ конторахъ такъ: знаетъ Макся, гдѣ раки зимуютъ, не даромъ Макся ходитъ къ Анисьѣ Ѳедоровнѣ, и Макся страшно ругался за это. Ему совѣтовали жениться на Анисьѣ Ѳедоровнѣ, и онъ крѣпко сталъ подумывать объ этомъ предметѣ.

Анисья Ѳедоровна была замужемъ за почтальономъ, который умеръ отъ пьянства. Она была выдана замужъ силой и по временамъ водилась съ пріѣзжими почтальонами, за что ей жутко приходилось отъ мужа. Когда умеръ мужъ, она водилась уже открыто съ почтальонами, извлекая изъ этого себѣ насущный хлѣбъ, и почтальоны не ревновали другъ къ другу. Хотя Макся и слыхалъ объ этомъ, но плохо вѣрилъ.

Когда онъ высказалъ ей свое намѣреніе жениться на ней, она посмѣялась и сказала.

— Я не хочу идти замужъ за пьяницу; да и за трезваго не пойду.

— Я не буду пить.

— Ходи такъ.

И сталъ Макся ходить къ Анисьѣ Ѳедоровнѣ и такъ привязался къ ней, что не напивался пьянымъ, отдавалъ ей свои деньги, помогалъ ей въ томъ, что было не подъ силу Анисьѣ Ѳедоровнѣ, угождалъ ей во всемъ и дѣлалъ все, что она ни велитъ. Макся блаженствовалъ три мѣсяца. Зато пьянаго Анисья Ѳедоровна била Максю, чѣмъ попало, гнала изъ дома, а онъ хвалился Анисьей Ѳедоровной.

Надъ Максей смѣялись, что онъ зажилъ своимъ домкомъ и отдаетъ всѣ свои деньги такой женщинѣ, какъ Анисья Ѳедоровна, про которую идетъ худая слава въ почтовыхъ дворняхъ. Макся защищалъ свою Анисью Ѳедоровну и мало-по-малу воздерживался отъ пьянства.

Но и это продолжалось недолго. Сталъ Макся замѣчать, что Анисья Ѳедоровна предпочитаетъ другого почтальона, гонитъ его отъ себя, когда сидитъ у нея почтальонъ, а трезваго постоянно упрекаетъ, что онъ мало носитъ денегъ. Макся терпѣлъ мѣсяцъ, терпѣлъ два, отсталъ отъ нея на мѣсяцъ, потомъ опять пришелъ, но Анисья Ѳедоровна, сведя знакомство еще съ другимъ почтальономъ, срамила Максю. Макся стерпѣлъ, но когда въ другой разъ она упрекнула его, что онъ пропилъ ея серебряныя сережки, хотя она и говорила это пьяная, Макся озлился, прибилъ ее, прибилъ почтальона, изломалъ много вещей и попалъ въ полицію.

За это буйство Максю перевели въ третьеклассную контору.

Въ третьеклассную контору Макся пріѣхалъ до того пьяный, что его едва-едва вытащили изъ телѣги. Контора помѣщалась во второмъ этажѣ, а Макся не могъ идти по лѣстницѣ и упалъ у крыльца. Его ста-

щили въ полицію, а на другой день почтмейстеръ отправилъ его обратно въ губернскую контору при такомъ донесеніи:

«Имѣю честь почтительнѣйше донести оной губернской почтовой конторѣ, что присланный оною конторою почтальонъ Максимовъ пріѣхалъ пьяный, какъ стелька, и не могъ сдать почты, а его вытащили изъ телѣги, и онъ, упавъ у крыльца, былъ мною послѣ повѣрки при немъ почты отправленъ въ полицію. Почему и покорнѣйше прошу съ препровожденіемъ сего почтальона Максимова убрать его изъ моей конторы какъ опаснаго и малоспособнаго и впередъ такихъ не присылать...»

Максю уволили въ отставку.

Долго шатался Макся въ губернскомъ городѣ безъ всякаго дѣла, пробиваясь болѣе у почтовыхъ, и былъ день сытъ, два голоденъ, день пьянъ, два дня съ похмѣлья. Максю никуда не принимали на службу. Совѣтовали ему наняться въ солдаты, но онъ не пошелъ. И Богъ знаетъ, что бы сдѣлалось съ бѣднымъ Максей, если бы надъ нимъ не сжалился одинъ станціонный смотритель. Этотъ смотритель былъ его другъ Лукинъ, уже женатый человѣкъ. Онъ пригласилъ его въ писаря.

Макся живетъ, нельзя сказать, чтобы хорошо, но и не худо. Хозяинъ его кормитъ, даетъ ему денегъ на водку, а объ остальномъ Макся не заботится. Главное нравится Максѣ то, что онъ постоянно дома. Максю любятъ и проѣзжающіе, и ямщики; онъ со всѣми ладитъ и умѣетъ всякаго удовлетворить. И славный человѣкъ Макся трезвый; рѣдко найдешь такого простого и добраго человѣка, но зато жалко становится, когда запьетъ. А какъ запьетъ Макся, такъ и пьетъ цѣлый мѣсяцъ до того, что все съ себя спуститъ, и никакими резонами не заманишь его на станцію. Ругается тогда Макся, хоть святыхъ вонъ неси, и гикаетъ на все село, и смѣшитъ же онъ тогда поселянъ!.. Лукинъ всячески старается поддержать Максю, но не можетъ. Онъ говоритъ, что Макся и трезвый заговаривается, т. е. съ ума сходитъ, нужно слѣдить за нимъ, потому-что онъ начинаетъ отмѣчать въ тетрадкахъ ямщиковъ вмѣсто одиннадцати часовъ «три съ полтиной» и т. п.; а ночью ворчитъ съ просонокъ. «Но если, разсказываетъ Лукинъ, я начну его спрашивать, что мучитъ тебя, онъ говоритъ:— не твое дѣло: не я первый и не я послѣдній такой».

Что будетъ потомъ съ Максей — не знаю, и разрѣшать этотъ вопросъ предоставляю другимъ.

Кумушка Мокроносиха.

(Разсказъ изъ горнозаводской жизни).

Май мѣсяцъ въ исходѣ. Пять часовъ утра. У фабрикъ Веретнинскаго казеннаго горнаго завода, отстоящаго отъ города Прирѣчинскаго на три версты,—зазвонили въ колоколъ, которымъ давали знать, что пора рабочимъ идти на работу и пора работавшимъ ночью отправляться по домамъ.

Въ заводѣ въ это время было уже большое движеніе: выползали изъ воротъ зѣвающіе рабочіе—мужчины отъ двадцати до сорока пяти лѣтъ и ребята отъ 12 до 19 лѣтъ, съ мѣшками на плечахъ, лопатами, туесками въ рукахъ. Выползая изъ воротъ, они поворачивались то налѣво, то направо, смотря по тому, какъ расположены дома по улицѣ и широко крестились, смотря кверху въ одну сторону: этимъ они выражали то, что они молятся на церковь, стоящую въ логу, откуда ее изъ-за домовъ не видать. Всѣ они шли по одному направленію къ фабрикамъ; навстрѣчу имъ попадались рабочіе, возвращающіеся домой. По одному шли немногіе, а шли больше человѣкъ по пяти, по семи, то молча, то перекидываясь словами. Встрѣчные не скидывали имъ фуражки, а перекидывались словами и шли своей дорогой.

— Здорово, Парамонычъ!

— Съ добрымъ утрицькомъ...

— Кланяйся нашимъ.

— Э-э!

— А Мокроносиху не видалъ ли кто?

— Куму-то?

— Ну!

— Помиратъ!..

— А штобъ ее... Въ девятый разъ помиратъ, чертовка!

Женскій полъ тоже всталъ: однѣ доятъ коровъ, другія топятъ печи, третьи въ огородахъ растенія поливаютъ, свѣжій зеленый лукъ щиплютъ, четвертыя кринки, туески, чашки и ложки моютъ... Рано встали люди и рано принялись за работу, какъ будто каждый спѣшитъ куда-то... Даже вонъ и гульныя коровы возвращаются съ поля и, останавливаясь у воротъ, чешутъ свои морды о перекладинки, упираются рогами въ ворота, какъ будто желая пробить себѣ дорогу во дворъ, и мычатъ.

— Тпрука! тпрука! тпруконька! слышатся со дворовъ восклицанія женщинъ, и затѣмъ ворота отпираются, появляются женщины разныхъ лѣтъ, держа въ рукахъ то лучину, то палку, то вѣникъ и, любезно ударяя по коровамъ этими оружіями, приговариваютъ:

— У, ты! междудворная!

На что коровы, взмахнувъ хвостами, бѣгутъ во внутрь двора и останавливаются передъ опрокинутымъ желѣзнымъ или деревяннымъ ведромъ и стараются своими мордами, какъ будто, поставить его на мѣсто.

Встаютъ спавшіе у заплотовъ и середи дороги овечки, умильно взглядываютъ на вышедшее изъ-за горы утреннее солнце и подходятъ тоже къ воротамъ, стараясь перегнать другъ дружку, только однѣ свиньи тамъ и сямъ роются около заплотовъ и около помоевъ въ лужахъ.

У одного четырехоконнаго дома съ разрисованными ставнями стоитъ красная съ бѣлыми пятнами корова и, бодаясь въ ворота, мычитъ. Эта корова, съ перваго раза, производитъ на человѣка такое впечатлѣніе, что онъ не можетъ

скоро оторваться отъ нея: высокая, здоровая, съ большой головой и рогами торчащими, прямо, съ большимъ вымемъ, она при всемъ своемъ страшномъ видѣ, кажется красивой и одной изъ лучшихъ во всемъ заводѣ.

Изъ сосѣдняго дома вышелъ мальчикъ лѣтъ восьми, въ одной рубашонкѣ, босой, съ бѣлыми волосами. Онъ пошелъ налѣво, но оглянулся и побѣжалъ направо. Остановился онъ передъ коровой; та поглядѣла на него. Мальчику, повидимому, хотѣлось что-то сдѣлать съ коровой. Вдругъ— онъ схватилъ щепку, подошелъ близко къ коровѣ и, какъ стрѣлецъ, отставя ноги на случай обороны, щепкой ткнулъ коровѣ въ морду. Та двинулась; мальчикъ хотѣлъ бѣжать, но запнулся, упалъ и вмигъ висѣлъ ужъ на рогахъ, т. е. корова зацѣпила рогами рубашенку мальчика. Корова поворачивала головой, а мальчикъ ревѣлъ.

Выбѣжала изъ калитки сосѣдняго дома женщина лѣтъ двадцати восьми и, ахнувъ, подбѣжала къ коровѣ.

— Ахъ ты, проклятая!.. Ахъ! и она начала хлестать корову толстой палкой. Корова лягалась и побѣжала прочь отъ дому. Мальчикъ висѣлъ и ревѣлъ.

— Мареа! послышалось изъ окна четырехоконнаго дома. Окно отворилось и въ немъ показалась женщина лѣтъ подъ сорокъ.

— Да чтой-то, кума, у тѣ корова за разбойникъ! Просто проходу ребятамъ нѣту.

— Ой ты, дѣвка!.. Тпрука, тпруконька! закричала кума изъ окна охриплымъ голосомъ. Корова подошла къ воротамъ, наклонила голову и мальчикъ свалился кубаремъ на землю, нагой; рубашенка висѣла на рогахъ. Мать мальчика нарвала крапивы и стала наказывать, приговаривая:

— Будешь ты баловать, чертенокъ! Я тебя куда послала?

— Брось ты парня-то, дура!—крикнула вышедшая изъ калитки кума.

— Да какъ же, кума; баловникъ какой!—сказала молодая женщина, бросивъ крапиву и снявъ рубашенку съ роговъ коровы. Кума загнала корову во дворъ и вышла на улицу.

— А, ты, Мареа, не видала ли овечекъ-то?

— Кто ихъ знаетъ...

— Ты ужъ такая. Знашь, я нездорова...

— Опять; выздоровѣла...

— Молчи!

— Ей, Мокроносиха, здорово!—сказалъ сидящій у окна противоположнаго дома мужчина лѣтъ тридцати, кумъ Мареы.

— Дома молодуха-то?—спросила въ свою очередь Мокроносиха.

— Дома. Здорова ли?—спросила показавшаяся въ томъ же окнѣ женщина лѣтъ двадцати съ хлѣбной чашкой въ рукахъ.

— Слава Богу, молодуха.

— А мы думали, что ужъ и конецъ... А въ который раз-отъ?

— Что ты, дѣвонька: въ девятый вчера... и Мокроносиха ушла во дворъ.

Управившись съ коровой, т. е. давши ей корму, сдѣлавши ей пойло въ ведрѣ, Мокроносиха сбѣгала въ огородъ, который тянулся по горѣ семисаженными грядами, съ четырьмя парниками. На грядахъ росли преимущественно: лукъ, картофель, капуста, морковь и рѣдька. Все это, кромѣ лука, плохо еще поднималось. Въ парникахъ росли огурцы; они уже цвѣли. Походивши около грядъ, посмотрѣвши и удостовѣрившись, что все обстоитъ благополучно, она заглянула въ сосѣдніе огороды.

— Ишь, плехи! и тутъ, что есть, смѣкальства нѣтъ, лежебокія!—сказала она громко и пошла въ баню. Выдвинула она одну половицу, спустилась въ сырое мокрое мѣсто, пощупала что-то тамъ, вышла оттуда, задвинула доску и вышла во дворъ. Потомъ она подоила корову и выгнала ее на улицу, перекрестивъ ее предварительно и сказавъ: ступай съ Богомъ.

Въ это время вышелъ на крыльцо, находящееся во дворѣ и выходящее изъ сѣней его дома, человѣкъ лѣтъ сорока восьми, очень невзрачной наружности. Онъ былъ въ халатѣ и босикомъ. Въ зубахъ онъ держалъ трубку.

— Экъ тѣ подняло ни свѣтъ, ни заря!—сказала ему Мокроносиха, входя на крыльцо.

— Голова болитъ, Матрена Власовна.

— Голова болитъ! Кто велитъ пьянствовать-то?

Мужчина сталъ умываться изъ висящаго на веревочкѣ желѣзнаго рукомойника, похожаго на кружку съ носомъ-рожкомъ.

Вошла Мокроносиха въ кухню, какой позавидуютъ, да и завидовали прирѣченскія чиновницы, навѣщавшія Мокроносиху. Направо большая печь, обѣленная съ приступками, противъ печи широкіе полати, у двухъ стѣнъ лавки; въ переднемъ углу столъ. Стѣны, хотя и не выбѣлены и не оклеены бумагой, но, несмотря на то, что домъ сдѣланъ изъ бревенъ, обтесанныхъ по эту сторону, они такъ гладки и желты, какъ будто моются каждую недѣлю. Стѣна противъ печи подъ полатями чуть не вся исписана мѣломъ какой-то грамотой: идутъ цѣлые ряды ониковъ, крестиковъ и палочекъ, то какихъ-то кривыхъ линій. Полъ, лавки, столъ и приступки у печи очень чисты и желтоваты, что доказываетъ то, что они часто моются. Она вошла въ комнатку съ двумя окнами, тоже чистую, веселенькую. На одной стѣнѣ висятъ въ рамкахъ пять картинъ литографированныхъ, разнаго содержанія. Противъ оконъ у стѣны стоитъ кровать съ периной и подушками, подъ кроватью валяются сапоги и все это задергивается ситцевою занавѣскою или, по-заводски, пологомъ, а въ углу, между кроватью и кухонной печью, выдающеюся сюда однимъ бокомъ, стоятъ два большихъ сундука. Комната даже нисколько не отличается отъ городской: въ ней есть большое, но простенькое зеркало, восемь стульевъ, два крашеныхъ стола и половики на полу.

Мокроносиха сняла половики и вытащила ихъ на крыльцо. Мужчина уже утиралъ лицо какой-то большой чистой тряпкой.

— Ефимъ! тряси-ко половики-то.

— Дай утереться.

— Туды же еще и умываться вздумалъ!— И она ушла въ кухню. Тамъ подъ лавкой лежалъ вѣникъ въ ведрѣ. Она спрыснула изо рта полъ въ комнатѣ и стала мести его. Немного погодя, Ефимъ принесъ половики въ кухню и держалъ ихъ передъ дверьми въ комнату, смотря, какъ Мокроносиха, нагнувшись въ три погибели, мететъ полъ, то справа налѣво, то слѣва направо.

— Чево ты стоишь-то? — крикнула она на Ефима. Ефимъ вздрогнулъ.

— Чево тамъ!—произнесъ онъ.

— Запылю половики-то! Положи на лавку, образина!

— Самоваръ-то ставить?

— Ишь! А ты далъ мнѣ денегъ-то на чай?

— Ну... опять,—сказалъ смиренно Ефимъ.

— Чево? на шкаликъ, небось, надо!

— Хмы!—улыбнулся широко Ефимъ.

Смѣшонъ казался въ это время Ефимъ. Пожелтѣлое, небритое его лицо принимало различное выраженіе; глаза то сѣменили направо и налѣво, то смотрѣли на Мокроносиху. Онъ походилъ теперь на собаку, готовую по первой кличкѣ броситься къ хозяину. Его кожа на лбу, то сморщивалась, то лоснилась, отчего стриженные гладко волосы то поднимались, то садились на свое мѣсто, уши растопыривались. Въ немъ проявлялась то боязнь, то покорность, выражаемая тѣмъ, что онъ, высовывая изъ-за печки голову, держалъ руки назади, щипля пальцами свой халатъ. Въ это время можно было навѣрное сказать, что онъ думалъ: «а надую же я тебя, чертова кукла».

— Ну, что ты стоишь, какъ корова?

Ефимъ съежился, потомъ выпрямился.

— Пошелъ, неси дрова-то да руби говядину.

Ефимъ безпрекословно повиновался повелѣніямъ Мокроносихи. Загорѣли дрова, Ефимъ рубилъ въ маленькомъ корытѣ говядину, самоваръ уже шумѣлъ, а Мокроносиха, между тѣмъ, справляла свою работу: поставила въ печь горшокъ съ водой и мясомъ, завела тѣсто и куда-то сбѣгала, что-то принесла подъ полой.

— Игнатьичъ!—кликнула вдругъ изъ комнаты Мокроносиха, стуча чашками.

Ефимъ Игнатьичъ стрѣлой бросился въ комнату, такъ что халатъ разорвалъ о плиту, высунувшуюся наружу.

— Поди-ко, сбѣгай къ брату; спроси, не пойдетъ ли онъ въ городъ. Пойдетъ, такъ пусть зайдетъ ко мнѣ.

Ефимъ Игнатьичъ стоитъ, ежится, какъ приказный, и что-то хочетъ сказать.

— Кому я сказала?

— Я думалъ...

— Пошелъ! Передъ пирогами получишь...

— Голова болитъ...

— Будь ты проклятъ, дуракъ. Вотъ пустая-то башка!..

Ефимъ Игнатьичъ ушелъ и скоро воротился съ извѣстіемъ, что братъ Мокроносихи въ городъ не пойдетъ сегодня, потому-что нездоровъ.

— Ну, садись не то; трескай,—сказала Мокроносиха Ефиму Игнатьичу. Самоваръ стоялъ въ кухнѣ на столѣ, на самоварѣ стоялъ чайникъ съ изломаннымъ рожкомъ и двѣ чашки съ надписью: въ день ангела. Чашки были налиты, но чай не пили ни Мокроносиха, ни Ефимъ Игнатьичъ, потому что Мокроносиха жарила на сковородѣ пять пирожковъ съ говядиной, а Ефимъ Игнатьичъ только слюны глоталъ, глядя на плиту, нюхая запахъ отъ пирожковъ и вслушиваясь въ верещанье масла, подложеннаго подъ пирожки. Пирожки поспѣли и Мокроносиха, выложивъ ихъ на тарелку, поставила тарелку на столъ передъ чашкой Ефима Игнатьича. Ефимъ Игнатьичъ только мигаетъ, а до горячихъ пирожковъ не дотрогивается.

— Ты что модничаешь-то?—крикнула на него Мокроносиха.

— Горячи...

— А водку пить не горячо?

Поспѣли еще двѣ сковородки и Мокроносиха сѣла къ столу; но предварительно она принесла изъ комнаты косушку водки и рюмку.

— Пей! - сказала она Ефиму Игнатьичу, подавая налитую водку. Тотъ выпилъ, крякнулъ, взялъ пирожокъ и въ два раза съѣлъ его. Выпила рюмку водки и Мокроносиха.

— Хошь еще?

— Давай.

Съ четверть часа они сидѣли за столомъ. Ефимъ Игнатьичъ послѣ двухъ рюмокъ водки выпилъ пять чашекъ чаю со свѣжими сливками и съѣлъ восемь штукъ пироговъ, а Мокроносиха то пила чай, то бѣгала къ печи вытаскивать шипящую сковородку, ругая пирожки анаѳемами. Вдругъ Ефимъ Игнатьичъ сказалъ со вздохомъ:

— Дѣла, какъ сажа бѣла! Хоть бы здѣсь на заводѣ должность получить?

— Вотъ ужъ экому пьюгѣ, прости Господи!

— Пьюгѣ!.. Я дѣлаю свое дѣлаю...

— Дѣлаешь ты. Чуть не тридцать лѣтъ прослужилъ, а что выслужилъ?

— Все, ишь ты, молодыхъ опредѣляютъ.

— Ой ты, чучело! Только бы тебя и слѣдовало въ огородѣ поставить, воронъ гонять.

— Хоть бы ты-то молчала, Матрена Власовна.

— Чего молчать-то: съ дуракомъ и Богъ не воленъ.

— Тебѣ говорятъ, что я тутъ, какъ... (онъ плюнулъ). Я писецъ и больше ничего по-ихному, а кѣмъ столъ держится? Ну, отчего мнѣ не дадутъ помощника? Онъ прослезился.

— Все у васъ рыжій совѣтникъ-то?

— Все.

— Ты молчи, а я ужо схожу сегодня. Я этой совѣтницѣ онномедни брюхо правила, чаемъ напоила, да что мнѣ её-то чай?.. Развѣ у меня своего-то нѣтъ?.. Ужъ я молчала, а она говорила...

— Что?

— А ужъ я сама про то знаю... Ну, что же ты не собираешься?..

Нехотя Ефимъ Игнатьичъ одѣлся: надѣлъ брюки, манишку, жилетъ, повязался галстухомъ, натянулъ и сюртукъ. Одѣлась и Мокроносиха: надѣла ситцевое розовое платье и повязала голову платкомъ. Когда Ефимъ Игнатьичъ собрался совсѣмъ, онъ перекрестился и сказалъ Мокроносихѣ: благословляй.

— Ступай съ Богомъ.

— Такъ попросишь?

— Ну, что ты присталъ. Ступай знай. Ефимъ Игнатьичъ ушелъ, а минутъ черезъ десять вышла изъ калитки на улицу и Мокроносиха. На плечахъ у нея висѣло коромысло, которое она обхватывала обѣими руками. На коромыслѣ висѣли: на одномъ крючкѣ узелъ съ свѣжимъ зеленымъ лукомъ, двѣ бутылки сливокъ, на другомъ крючкѣ—пять берестяныхъ небольшихъ туесковъ (по заводски бураковъ) съ молокомъ. Какъ только она вышла на улицу, ей попались на встрѣчу двѣ женщины, тоже съ коромыслами, на которыхъ болтались узелки съ лукомъ и туесками.

— Гляди, Офимья, кума-то!

— Здорово, кумушка!—проголосили женщины и остановились.

— Ну, чего стали?

— Да какъ это ты, кума: вчера соборовалась, а сегодня ишь ты...

Спустились съ горы, пошли по большой дорогѣ, идущей въ городъ. Погода была отличная, тихая, солнечная. По дорогѣ шло много женщинъ, кучками и поодиночкѣ съ коромыслами, на которыхъ что-нибудь да болталось. Онѣ шли скоро, голосили между собой громко. Здѣсь слышались бабьи сплетни, сѣтованія на мужей, сужденія объ огородахъ и о томъ, какъ бы лучше сдѣлать такъ, чтобы капуста выросла хорошая. Говорили и о нарядахъ.

— Я, дѣвонька, какъ скоплю три съ полтинкой, безпремѣнно куплю кренолинко.

— Что ты?

— Вотъ тѣ Христосъ! Штой-то въ самъ-дѣлѣ всѣ нонѣ кренолинки носятъ.

— Да мы, почесь, и говорить-то не умѣемъ: карналинъ зовется... Потому наши мужички рабочій народъ. Да и чтой-то за страмъ! голосила сосѣдка Мокроносихи, шедшая съ ней рядомъ.

— А сама, помнишь, въ Николу какой напялила! экое колесо!—замѣчала Мокроносиха. Бабы захохотали.

— Чтой-то, кума, у те Работкинъ-то пьетъ? ты бы его пріучила къ рукамъ-то.

— Гляди, сбѣжитъ. Всеё оберетъ.

— Ахъ вы подлыя! Да съ чево его мнѣ унимать-то, разѣ я ему родня какая далась!

— Мотри! Не знамъ, что ли!

— Отсюда видно!

— Что, небось, губа-то не дура?

— Отсохни мой языкъ, чтобы я соврала!

— Ну, ну! Не въ первой божиться-то, кумушка! Вотъ что!

Такъ дошли до города и потомъ всѣ разошлись по разнымъ улицамъ, и скоро заслышались пискливые голоса веретинокъ: луку, луку купите!! молока-то, молока не надоль!..

Марья Власовна Мокроносиха типъ горнозаводскихъ женщинъ, которыя не только не уступаютъ мужчинамъ, но даже превосходятъ ихъ. Онѣ не боятся мороза, сильныхъ вѣтровъ, дождей, грозы, а ихъ только безпокоитъ пьянство, лѣнь мужей, безденежье, которое часто происходитъ не отъ нихъ, а отъ божескаго послабленія, какъ онѣ сами выражаются.

Поглядите вы изъ окна или просто пройдитесь въ хорошую погоду по заводскимъ улицамъ: вы увидите играющихъ ребятъ обоихъ половъ въ однѣхъ рубашенкахъ, частію не отъ недостатковъ родителей, какъ мы это увидимъ послѣ, а по вкоренившемуся убѣжденію родителей, что дѣтей не стоитъ наряжать въ экіе годы; они веселы, бойки, умѣютъ осмѣять, кого угодно, и далеко превосходятъ своею развязностью и находчивостью крестьянскихъ мальчиковъ. Поглядите вы въ ненастную погоду изъ окна, выходящаго на большую заводскую улицу, и вы увидите тѣхъ же ребятишекъ не играющихъ, а бѣгущихъ куда-то въ одной рубашкѣ, босыми, съ непокрытыми головами. Ихъ и громъ не задерживаетъ и зимой босикомъ бѣгаютъ по снѣгу, конечно, не играютъ, а перебѣгаютъ отъ сосѣда къ сосѣду. Чѣмъ старше ребята, тѣмъ больше вы замѣчаете за ними ловкости, смышлености и видите въ нихъ уже работниковъ. Вонъ даже теперь за Мокроносихой идутъ двѣ дѣвочки: одной двѣнадцатый годъ, а другой четырнадцатый. Та, которая поменьше, тащитъ въ обѣихъ рукахъ по туеску, другая тащитъ коромысло съ туесками. Отчего это такъ, а не иначе, мнѣ бы слѣдовало объяснить здѣсь, но я, для краткости разсказа, долженъ только сказать, что въ Веретинскомъ заводѣ, имѣющемъ постоянное сообщеніе съ городомъ, люди не живутъ замкнуто, выражаются безъ стѣсненія, и жизнь ихняя сложилась какъ-то по полугородски, но зато веретинцы въ десять разъ практичнѣе прирѣченцевъ.

Все это я говорю къ тому, чтобъ не писать много исторіи о Мокроносихѣ. Она была мастерская дочь. Съ двѣнадцати лѣтъ она стала ходить въ городъ продавать молоко и скоро научилась добывать деньги, такъ что отъ продажи молока, огородныхъ овощей, ягодъ и грибовъ, она къ свадьбѣ своей, бывшей на 18 году, помимо приданаго, накопила пятьдесятъ руб. сер. Тогда она была красивая дѣвка, какъ ее называли въ заводѣ, толстая, высокая, краснолицая. Да и теперь, когда ей скоро стукнетъ сорокъ лѣтъ, она не только не уступитъ иной купчихѣ ни ростомъ, ни толстотой, ни лицомъ, но даже заткнетъ за поясъ любого купца. Она часто надувала первостатейныхъ плутовъ на молокѣ, на ягодахъ, и эти первостатейные плуты никакъ не догадывались: отчего это Мокроносиха, когда ей не отдашь тотчасъ деньги, черезъ мѣсяцъ, кажется, насчитываетъ лишнее, и какіе ты тутъ ни подводи счеты, никакъ бабу съ толку не собьешь: закричитъ, перекричитъ—словомъ горломъ беретъ, подлая... Да примѣровъ много, гдѣ ихъ пересчитаешь. Замужъ она вышла, конечно, не по своему желанію, но съ мужемъ свыклась въ первый годъ.

Мужъ былъ молодъ, красивъ, столяръ, почему онъ много добывалъ денегъ, работая на городскихъ господъ, которыхъ онъ съ Мокроносихой называлъ вареными раками. Мужъ, конечно, попивалъ по праздникамъ, но жена такъ умѣла ладить съ нимъ, какъ нарядчикъ командуетъ надъ рабочими: пропьетъ онъ рубль, она лишитъ его чаю и заставитъ проработать усерднѣе, чтобы онъ заработалъ этотъ рубль; погрубитъ онъ пьяный, она побьетъ его, свяжетъ и уложитъ на постель, куда и сама ляжетъ. Если мужъ кусаться станетъ, она его теребитъ за волосы, зажметъ ротъ и доведетъ до того, что онъ угомонится, и потомъ пьянаго и развяжетъ. Сдѣлавшись хозяйкой въ своемъ домѣ (домъ у ея мужа былъ свой), она всячески старалась нажить копейку. А нажить деньги было очень легко. Со времени основанія Прирѣченска веретнинцы стали извлекать оттуда выгоду и довели дѣло свое до того, что почти всѣ горожане постоянно покупаютъ у нихъ молоко, огородныя овощи, ягоды и пр. Поэтому Мокроносиха была постоянно, съ утра до вечера, на ногахъ. Лѣтомъ— утромъ сбѣгаетъ въ городъ, продастъ все, что принесетъ туда, потомъ отправится по ягоды и опять летитъ въ городъ; только зимой ей было скучновато; тогда она только разъ въ день ходила въ городъ, но зато находила иногда работу тамъ: мыла полы, стирала бѣлье.

Съ мужемъ она жила недолго: черезъ семь лѣтъ онъ умеръ, и она осталась съ двумя дочерьми, которыя помогали ей въ хозяйствѣ, и съ помощью ихъ она привела огородъ въ отличное состояніе, такъ что у нея скорѣе всѣхъ поспѣвали хорошіе огурцы, и рождалось всегда больше другихъ картофелю и капусты, до которыхъ прирѣченцы страшные охотники. Жить ей было можно, но она увеличила свой доходъ такимъ образомъ: въ городѣ у нея было много знакомыхъ, которые за молоко или за какія-нибудь овощи платили ей не тотчасъ, а черезъ мѣсяцъ или черезъ три мѣсяца. Она и писала счетъ на стѣнѣ въ своей кухнѣ противъ печки: одна палочка обозначала долгъ за одинъ буракъ, который стоилъ пять или три коп. Она никогда не смѣшивала вмѣстѣ разныхъ долговъ. Такъ, у нея въ одномъ мѣстѣ значился долгъ чиновницы Перекувыркиной, въ другомъ купчихи Алапаихи, въ третьемъ семинаристовъ изъ такого-то дома. Зато она къ каждымъ пяти палочкамъ приписывала себѣ за труды шестую палочку, думая: «небось вы за ходьбу-то не прибавляете. А что мнѣ нужды, что вы меня чаемъ-то поите?» А такъ какъ она денегъ не тратила по пустякамъ, то у нея часто просили въ долгъ сосѣди или городскіе знакомые. И эти долги она пишетъ на стѣнку, только рубли обозначаетъ оникамъ, а гривны крестиками. Если же кто не отдаетъ ей долговъ, она ходитъ жаловаться къ начальникамъ, и если уже дѣло идетъ на ссору, приписываетъ къ тремъ оникамъ еще оникъ, а девять крестиковъ зачеркиваетъ, загораживаетъ клѣточкой и сверху пишетъ еще оникъ.

Въ заводѣ она всѣмъ извѣстна за продувную бабу и всѣ ее зовутъ не иначе, какъ кумушкой, не потому, чтобъ она ребятъ принимала, а потому, что она всѣмъ готова услужить и угодить. Еще до замужества она была, что называется, вострая дѣвка не спускала ни одному мужчинѣ и ни одной женщинѣ крикомъ и руганью. Въ замужествѣ и во вдовахъ она рѣшительно никого не боялась, на томъ основаніи, какъ она выражалась: «съ насъ взятки гладки. Закону такого нѣту, чтобы командовать надъ нами». А это проистекало изъ того, что въ заводѣ всѣ женщины добывали деньги помимо мужей, которые сами получали за работу немного, брали у женъ деньги въ долгъ, только безъ отдачи, и если куражались надъ женами, то сидѣли голодомъ.

Одинъ годъ она носила молоко двумъ холостымъ молодымъ чиновникамъ; тѣ сперва платили, потомъ стали оттягивать. Полгода она проносила имъ молоко, денегъ не даютъ. Перестала она носить и взяла съ одного росписку, и съ этой роспиской пошла въ то присутственное мѣсто, гдѣ служилъ чиновникъ. Оказалось, что чиновникъ вышелъ въ отставку, она къ начальнику Пузатову.

— Что тебѣ, баба?—спросилъ онъ ее.

— Да вотъ, ваше б—іе, взыщи съ чиновниковъ долгъ. Туто-ка одинъ подписался, съ него и взыщи. Я ужо тебѣ малинки принесу.

Велѣлъ Пузатовъ подать ей прошеніе; она подала. Черезъ полгода узнала, что дѣло ея сдано въ архивъ, потому-что чиновникъ оказался несовершеннолѣтній, т. е. ему было только 20-й годъ, и поэтому-де чиновникъ не имѣлъ права давать росписки, и закону такого нѣтъ, чтобы съ несовершеннолѣтняго взыскивать долги черезъ полицію. Обругала Мокроносиха Пузатова вахлакомъ и пошла къ начальнику постарше.

— Ваше благородіе! гдѣ такіе порядки написаны, чтобы долги не получать?—заголосила она, увидавъ начальника въ пріемной. Она всѣхъ чиновныхъ людей называла благородьями. Начальникъ даже струсилъ бабы.

— Въ чемъ дѣло?

— Да вотъ твой-то, Пузатой, смотри, что надѣлалъ... Ты думаешь, мнѣ не дороги деньги-то? Поди-кось, я бы и съ тебя не стала взыскивать?.. Ты тамъ съ другихъ бери, что хошь, а насъ не обижай: мы васъ кормимъ, потому безъ веретнинокъ вамъ бы трескать нечего было...

Начальникъ улыбнулся; улыбнулись втихомолку чиновники, стоявшіе въ пріемной.

— Ты, баба, очень дерзка,—сказалъ ей начальникъ.

— Не эдакихъ видала! Я самаго главнаго начальника видала. Вотъ что! У насъ свой начальникъ... Найдемъ и повыше тебя!—закричала Мокроносиха, разсердившись.

Думалъ, думалъ начальникъ и повернулъ направо кругомъ, а Мокроносиха хотѣла было принести жалобу лично главному начальнику горныхъ заводовъ, да ее разговорили заводскія бабы.

Часто она хлопотала у совѣтниковъ за своихъ заводчанъ, которые служили въ городскихъ присутственныхъ мѣстахъ, и такъ какъ она носила мо-

локо къ нимъ, то часто выигрывала дѣло въ такомъ родѣ: если человѣка гнали изъ присутственнаго мѣста, то онъ опять оставался тамъ или переходилъ въ другое мѣсто. Часто она улаживала браки по любви и получала за это небольшіе подарки.

Ефимъ Игнатьичъ Работкинъ былъ для нея совсѣмъ чужой человѣкъ. Онъ сначала служилъ въ какомъ-то казенномъ заводѣ и тамъ рѣшительно ничего не пріобрѣлъ, кромѣ того, что сдѣлался пьяницей и запуганнымъ человѣкомъ. Передъ волей его произвели въ урядники, а въ волю уволили изъ горнаго вѣдомства, съ предоставленіемъ ему права продолжать службу по гражданскому вѣдомству, съ званіемъ канцелярскаго служителя. Вотъ онъ и покатилъ въ Веретнинскій заводъ къ сестрѣ его жены (жена у него давно умерла). Но сестра тоже умерла, а о смерти ея онъ узналъ отъ Мокроносихи, разыскивая въ улицѣ домъ сестры. Оказалось, что и мужъ сестры его жены не живетъ здѣсь, а живетъ въ другомъ заводѣ съ новой женой. Въ городѣ у Работкина знакомыхъ не было, Мокроносиха и пустила его въ свою комнату. Проболтался Работкинъ мѣсяцъ безъ мѣста, прожилъ даромъ на счетъ доброй хозяйки, надоѣло такъ жить и сталъ надоѣдать своими жалобами хозяйкѣ. Мокроносиха съ первой же недѣли замѣтила, что ея жилецъ смирный, услужливый: дровъ принесетъ, въ печку ихъ складетъ и даже полъ подмететъ, только табакъ куритъ, ну да кто нынѣ не куритъ. Вотъ она одинъ разъ приходитъ домой изъ города и говоритъ ему:

— Ну, Ефимъ Игнатьичъ, говори: слава Богу!

— А что?

— Говори!

— Ну, слава Богу.

— Мѣсто тебѣ нашла, въ коронную принимаютъ, даромъ, почесь.

И сталъ ходить Работкинъ на службу въ городъ. Уходилъ онъ ровно въ семь часовъ утра, а приходилъ домой въ двѣнадцатомъ часу ночи, потому что онъ занимался и по вечерамъ въ присутственномъ мѣстѣ, и за это ему платили восемь рублей въ мѣсяцъ. Спросилъ онъ Мокроносиху, сколько она возьметъ съ него за квартиру со столомъ; она сказала: «а ничего! ты не Богъ знаетъ, сколько съѣшь, все равно бросить придется». И сталъ жить Работкинъ у Мокроносихи, превознося ее, и самъ не замѣчалъ какъ мало-по-малу подчинялся ея командѣ. Она стала больше и больше заставлять его помогать ей въ хозяйствѣ, вскрикивала на него, когда онъ дѣлалъ не такъ, бранила его, что онъ пропиваетъ деньги, и, наконецъ, забрала его совсѣмъ въ руки. Работкинъ этимъ не обижался, а даже, какъ говорится, таялъ передъ Мокроносихой, которая могла заставить его обѣжать весь заводъ изъ-за косушки водки; но подчасъ Работкину становилось невыносимо скучно безъ Мокроносихи. Онъ такъ привыкъ къ ней, что ни за что бы, кажется, не разстался съ ней, и поэтому въ головѣ его бродили разныя мысли съ разными желаньями. На службѣ товарищи часто корили его тѣмъ, что онъ снюхался съ Мокроносихой, живетъ съ ней гражданскимъ бракомъ; это его бѣсило, и онъ задумывался все больше и больше и приходилъ къ тому заключенію, что ему не худо бы жениться на Мокроносихѣ, потому-что она женщина работящая, да и съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, но заговорить объ этомъ съ Мокроносихой не рѣшался. Съ своей стороны у Мокроносихи и помышленія не было выйдти замужъ за кого бы то ни было, потому-что она сама добывала себѣ пропитаніе даже съ излишкомъ, постоянно была въ ходу, и, умаявшись днемъ, скоро засыпала ночью, не думая ни о чемъ другомъ, кромѣ того, чтобы у ней были здоровы и цѣлы курицы, корова, овечки и т. п. Поэтому, значитъ, заводскія женщины и мужчины говорили на нее понапрасну, что она находится въ очень близкихъ отношеніяхъ съ Работкинымъ. Работкинъ былъ ей и нуженъ, и лишній человѣкъ, смотря по времени; нуженъ потому, что онъ замѣнялъ ее дома своей особой; лишній потому, что болтался около нея въ такое время, когда ей хочется скорѣе сдѣлать что-нибудь. Она, съ своей стороны, тоже привыкла къ нему, какъ къ человѣку, прожившему съ ней десять лѣтъ. Поэтому, она, видя его робость и послушаніе, такъ и командовала надъ нимъ. Но порой на нее находилъ какой-то страхъ, и она боялась, чтобы Работкинъ не укралъ у нея деньги, которыя хранились въ банѣ подъ поломъ, и она притворялась больной и выздоравливала на другой день послѣ соборованія. Во время болѣзни ея Работкинъ на квартирѣ жилъ рѣдко, а приходилъ домой только спать, а это не нравилось Мокроносихѣ; но Работникъ даже и не догадывался, что у Мокроносихи есть большія деньги, потому-что сосѣдки, во время ея болѣзни, ухаживали за ней и на свой счетъ приглашали къ ней священника.

Пришла Мокроносиха въ кухню, принадлежащую къ квартирѣ совѣтника Толстобрюхова. Въ кухнѣ увидала ее жена совѣтника, Марья Алексѣевна.

— Здравствуй, Матрена.

— Здорова ли матушка, Марья Алексѣевна?

— Слава Богу, послѣ твоихъ рукъ поправилась... Радуюсь, что ты выздоровѣла, а то безъ тебя молоко и сливки дрянныя продавали.

— А дома у те самъ-то, Савелій-то Павлычъ?

— Дома. Одѣвается.

— Какъ бы мнѣ съ нимъ покалякать.

— Опять просить за кого-нибудь?.. Нынче у насъ такой въ присутствіи начальникъ, что бѣда. Все самъ...

— Ну, ужъ супротивъ Савелія Павлыча гдѣ ему!

Вошла Мокроносиха въ кабинетъ, гдѣ Толстобрюховъ напяливалъ на себя вицмундиръ.

— Здорово, батюшка. Не досужно, поди-ка?

— Здравствуй, Матрена... Ну, что?..

— Да опять къ тебѣ. Нѣтъ ли мѣстовъ-то у те?

— Какъ нѣту; два даже.

— Такъ нельзя ли моево-то квартиранта Работкина назначить.

— То-то что нельзя. Пятьдесятъ рублей даютъ, да мало...

— Ишь ты... Я ужъ тебѣ припасла пять фунтиковъ чухонскаго масла. Славное, сливочное...

— Экъ она! Масло само собой, а деньги само собой.

— Полно-ка, сударикъ!..

— Нельзя.

— А ты сколько бы взялъ съ меня?

— Да сотню надо-бы.

— Ишь ты гостинодворецъ... Такъ не то какъ?

— Да для тебя ужъ такъ и быть—шестьдесятъ.

— А я думала бы пятитку.

— Что-ты, что-ты!

— Экой ты какой несговорчивый! Ты думаешь. что твое мѣсто клиномъ сошлось?

Да я другого совѣтника попрошу. Я и самому вашему старшему скажу: вотъ, молъ, тебѣ двадцать пять, хошь—бери, не хошь—наплевать.

— Да ты чего за чужихъ-то хлопочешь. Хошь, я тебѣ жениха найду?

— Мнѣ?

— Ну и должность ему дамъ; чиновникъ, молодой.

— Наплевала бы я на твоихъ-то чиновниковъ. Я ужь замужъ не пойду, а твоему чиновнику, если хошь, найду невѣсту съ домомъ, только Работкину дай мѣсто.

— Ну, ужъ давай не то двадцать пять.

— А ты опредѣли, да потомъ и проси.

Черезъ недѣлю Работкинъ получилъ должность помощника. И какъ же онъ радовался этому! Въ ногахъ вывалялся у Мокроносихи, которая теперь еще пуще прежняго стала командовать надъ нимъ.

Стали похаживать къ Работкину гости изъ города, сталъ онъ угощать ихъ; денегъ у него хватало; и Мокроносиха не сердилась на это, потому что она говорила: должностному человѣку нельзя не имѣть компаніи съ должностными людьми. Работкинъ сталъ больше и больше юлить передъ Мокроносихой и разъ, сидя за чаемъ, сказалъ ей:

— Матрена Савишна, выходи за меня замужъ.

— За тебя-то? Съ какой стати я пойду замужъ за дурака?

— Я должность имѣю.

— А кто тебѣ должность-то досталъ? Въ состояніи ли ты самъ-то что-нибудь сдѣлать?

Такъ Работкинъ и пересталъ говорить ей о женитьбѣ, только замѣчалъ, что Мокроносиха что-то рѣже ходитъ въ городъ, мало разговариваетъ съ нимъ, какъ будто дуется на него, больше задумывается.

Сидѣли они какъ-то вечеромъ за ужиномъ. Мокроносиха и говоритъ Работкину:

— Вотъ что, Ефимъ. Я тебѣ нашла должность; теперь ты имѣешь кусокъ хлѣба свой, и мнѣ ужъ тебя кормить не приводится, потому на меня сплетничаютъ. Иди на другую квартиру.

— Да я къ тебѣ привыкъ, Матрена Савишна.

— Мало ли что. Женись.

— Не хочу.

— А зачѣмъ за Марьей Степановной подглядываешь? Я будто не знаю. Вотъ и женись. Домъ тебѣ въ городѣ выстроятъ, денегъ дадутъ.

Согласился Работкинъ жениться на Марьѣ Степановой и черезъ два дня переѣхалъ на квартиру въ городъ, а въ этотъ день вечеромъ у нея сидѣлъ гость, одинъ молодой чиновникъ, Семенъ Семенычъ Кольчиковъ, который часто приходилъ въ гости къ Работкину.

— Отчего ты не женишься?—спросила его Мокроносиха.

— Да денегъ все нѣтъ. Вотъ бы должность надо получить, да все наслѣдства дожидаюсь.

— Хошь, я попрошу.

— Сдѣлай одолженіе. А я, Матрена Савишна, влюбленъ.

— Въ кого?

— Въ тебя.

— Поди ты!

На другой день Мокроносиха уже летѣла въ городъ и черезъ полчаса стояла въ прихожей новаго совѣтника, посланнаго вмѣсто Толстобрюхова; но этого совѣтника она видѣла раза два въ кухнѣ.

Лакей спросилъ ее: кого нужно?

— Не тебя, конечно, самого...

— Кого самого?

— Совѣтника Любкина.

— Дома нѣтъ его.

— Я-те покажу, нѣтъ дома, рыжій чертъ! Скажи, веретнинка пришла, и все тутъ.

Вышелъ совѣтникъ, молодой человѣкъ.

— Ваше благородье, что возьмешь за мѣсто?

— Что такое?

— Вотъ теперь у тебя въ отдѣленьи вакансія есть, а у меня хорошій человѣкъ есть...

— Ты куда пришла?—крикнулъ совѣтникъ на Мокроносиху.

— Ты не кричи, не такихъ видали!

— Иванъ, выгони ее!

— Ну-ко, смѣй! У меня еще не отсохли руки-то. А ты скажи: дорого ли ты берешь? Вонъ Толстобрюховъ, такъ тотъ и масломъ забиралъ.

Лакей вытолкалъ Мокроносиху. Обидно ей сдѣлалось.

— Подлый народъ эти, ваши-то!—сказала она Кольчикову, вызвавъ его на крыльцо.

— Надо подарить. Ишь, нынѣ новенькіе-то начальники только треску задаютъ, а берутъ помногу.

— Я бы дала сотню, да ты-то какъ заплатишь?

— Я тебѣ десять коп. на рубль буду платить, только подмажь колеса-то.

Согласилась Мокроносиха дать ему подъ росписку сто рублей и пошла прямо въ свою баню. Открыла осторожно половину, спустилась туда и ахнула. Корчаги съ накопленнымъ ею въ тридцать лѣтъ капиталомъ не оказалось. Порыла она вездѣ подъ поломъ—нѣтъ. Какъ ошалѣлая, она вышла

изъ бани, прибѣжала въ комнатку и сѣла на стулъ. Такъ она просидѣла съ полчаса.

— Кто укралъ?—думала она. Работкинъ! Ахъ злодѣй, больше некому!!! додумалась Мокроносиха.

Вечеромъ зашелъ къ ней Кольчиковъ и удивился, что она все молчитъ, такая блѣдная, и не слышитъ, что онъ говоритъ ей.

— А ты не слыхала, что Работкинъ-то творитъ въ городѣ?

— Чего?

— Домъ купилъ.

— Врешь!!!

— Ей Богу. Говоритъ, кто-то подарилъ ему изъ родныхъ четыреста рублей. Я просилъ у него, да не даетъ. Триста рублей далъ за домъ.

Цѣлую ночь Мокроносиха ни слова. Начнетъ она думать, ей кажется, что кто-то душить ее собирается. Въ восемь часовъ она уже летѣла въ городъ, но безъ молока, а только съ лукомъ. Поразспросила она тамъ, правда ли, что Работкинъ покупаетъ домъ, и удостовѣрившись, что правда, она кинулась прямо въ то присутственное мѣсто, гдѣ служилъ Работкинъ. Она пошла прямо въ ту комнату, въ которой занимался Работкинъ. Оглядѣвшись и увидѣвъ Работкина, она подошла къ нему. На нее смотрѣли всѣ служащіе.

— Здравствуй,—сказала она ему.

— Здравствуй,—сказалъ онъ. Чиновники захохотали.

— Чему вы, псы, смѣетесь? Вы поглядите на этого варнака... Куда ты дѣвалъ деньги, подлая ты рожа?!—заголосила Мокроносиха на все отдѣленіе.

Работкинъ поблѣднѣлъ, затрясся.

— Какія деньги?—спросилъ онъ. Столъ окружили всѣ чиновники этого отдѣленія.

— Ахъ ты, песъ ты эдакой?.. На какія ты деньги домъ-то покупаешь? А! ну, говори: куда ты корчагу-то дѣвалъ?! Вѣдь я тридцать лѣтъ копила...

Работкинъ всталъ и пошелъ.

— Куда ты пошелъ?! Держите вы его, подлеца!.. уйдетъ!.. уйдетъ!—закричала Мокроносиха, вцѣпилась въ Работкина и давай трясти его, приговаривая: я тебя даромъ кормила! мѣсто тебѣ выхлопотала, твоимъ Толстобрюховымъ услуживала... Отдай, чтобъ тѣ околѣть, корчагу!..

— Господа, она сумасшедшая!—крикнулъ Работкинъ. Пришли сторожа и вытолкали Мокроносиху изъ отдѣленія, а Работкина стали стыдить товарищи; но онъ говорилъ, что она уже давно съ ума сошла. За Мокроносиху вступились веретинцы, служащіе въ этомъ отдѣленіи, но большинство стояло за Работкина. Между тѣмъ Мокроносиха не утерпѣла: она ворвалась въ кабинетъ начальника Чучела и запричитала:

— Охъ, ограбили! охъ, мои матушки!..

Чучело пришелъ въ ярость, потому-что баба перервала его дѣльныя мысли. Онъ зазвонилъ въ колокольчикъ. Пришелъ вахмистръ.

— Позови сторожей, да вытолкай ее.

— Меня? веретинку? Врешь! Я къ самому главному пойду: тебя упеку въ острогъ!..

Однако Мокроносиху вытолкали усердные сторожа на улицу, и пошла она въ заводъ, причитая: «батюшки! голубчики! Тридцать лѣтъ копила деньги, за всѣхъ хлопотала .. А тутъ?.. Пятьсотъ рублевъ вѣдь укралъ Работкинъ-то совсѣмъ и съ корчагой!..

Попадавшіяся ей навстрѣчу веретинки издѣвались надъ нею:

— Какъ же это такъ?

— Охъ, въ банѣ были!..

— Ну вотъ, такъ и есть! Говорили мы тебѣ: огрѣетъ онъ тебя.

— Въ тихомъ-то омутѣ и водятся черти.

— Ну, не будетъ теперь лишніе оники да палочки приписывать!

— Что жъ ты теперь, кумушка?..

— Ой, бабы, животъ болитъ!.. Ой! и сама не знаю, что я буду дѣлать!

Прошло полгода. Мокроносиха много измѣнилась: похудѣла, пожелтѣло лицо, сдѣлалась раздражительною. Она попрежнему работаетъ; попрежнему копитъ деньги, кладя ихъ въ чулокъ, а потомъ засовывая подъ нары въ гольцѣ, но какъ только сдѣлается ей скучно, задумается она объ украденныхъ у ней деньгахъ, купитъ косушку, выпьетъ, угоститъ мужчинъ и подъ пьяную руку раздастъ всѣ деньги въ долгъ, а пробудившись утромъ, опомнится, станетъ припоминать, кому она давала деньги, подойдетъ къ стѣнѣ: все стерто. Пойдетъ она къ сосѣдкамъ:

— Бабы, кто у меня вчера былъ изъ мужиковъ?

— А кто те знаетъ, съ кѣмъ ты амуришься.

— О, подлая! Вѣдь цѣлый рубь стащили?

— Да куда тебѣ беречь-то? Вѣдь у тебя дѣтей махонькихъ нѣтъ.

— Дайте, бабоньки, опохмѣлиться.

Тѣ дадутъ пятакъ; она пойдетъ въ кабакъ, выпьетъ и говоритъ: вотъ вчера украли у меня, а сегодня заняла свои же деньги...

За Мокроносихой ухаживаютъ рабочіе поятъ ее, цѣлуютъ, дразнятъ ее корчагой, она злится, отвертывается отъ нихъ, и уходитъ изъ кабака, пьяная, и пошатываясь поетъ пѣсню:

По горенкѣ хожу,
Въ окошечко поглажу,
Съ помиленькимъ потужу
Тужитъ, плачетъ дѣвица.
Уливается слезами и т. д.

Веретинцы и веретинки останавливаются, даютъ ей проходъ и смотрятъ на нее.

— Что шары-те уставили!—крикнетъ она на нихъ.

— Что это доспѣлось (сдѣлалось) съ кумой-то?—спрашиваютъ женщины.

— Ишь, Работкинъ-то, ея любовникъ, корчагу съ деньгами уволокъ.

— И какъ это она наскочила? Ахъ, кумушка, кумушка!..

— А онъ все служитъ?

— Все. Въ свой домъ переѣхалъ. Сказываютъ, на городской хочетъ жениться.

На другой день Мокроносиха уже не пируетъ, а идетъ въ городъ съ молокомъ или огородными овощами, и опять копитъ деньги до новой выпивки. И славная она въ это время, зато ужъ не ходитъ хлопотать ни за кого, только развѣ сосватаетъ кому-нибудь дѣвицу. Но хозяйство ея начинаетъ надламливаться: въ огородѣ плохо растутъ овощи, на покосѣ сѣно воруютъ, корова худѣетъ, четыре курицы околѣли, двѣ самыя лучшія овечки неизвѣстно куда дѣлись. Какъ посмотритъ она на свое хозяйство, сердце защиплетъ у нея, и заплачетъ она.

— Все подлецъ Работкинъ, да простота моя... Ужъ я ли не молодецъ была, а доканали таки... И зачѣмъ это я совалась вездѣ,-скотинская скотина...

И хватитъ Мокроносиха водки въ кабакѣ, да и закутитъ такъ, что заснетъ тамъ, проспитъ до другого дня и встанетъ съ синяками на лицѣ.

А Работкинъ все служитъ. Онъ получилъ чинъ и женился на дочери какого-то отставного чиновника, который хотя за дочерью не далъ денегъ, но можетъ выхлопотать Работкину хорошую должность.

Старые и новые знакомые.

(Дорожныя записки).

I,

По пріѣздѣ въ Нижній, я тотчасъ изъ вокзала желѣзной дороги отправился на пароходъ общества «Кавказъ и Меркурій». На пароходѣ было очень немного людей, потому-что до отхода парохода оставалось часа три. На кормѣ подъ желѣзнымъ навѣсомъ, сдѣланнымъ для того, чтобы не падали на людей мелкіе каленые угольки изъ трубы и чтобы не мочилъ дождь, стояло четыре ряда скамеекъ-дивановъ разныхъ величинъ, такихъ, изъ коихъ однѣ вмѣщали двухъ человѣкъ, другія одного. На одной скамейкѣ дремалъ какой-то господинъ въ длинномъ черномъ зипунѣ, называемомъ халатомъ, на другой человѣкъ съ большой рыжей бородой, лѣтъ сорока пяти, въ овчинномъ полушубкѣ, кусалъ нижегородскую сайку, называемую пекарскою булкою, вмѣщающую въ себѣ двѣ или три петербургскихъ трехъ-копеечныхъ булки. Онъ сидѣлъ лицомъ къ машинѣ, сложивъ нога на ногу, что-то соображалъ или наблюдалъ и ѣлъ, не то чтобы аппетитно, а съ какимъ-то наслажденіемъ, не торопясь. На четырехъ скамейкахъ-диванахъ лежали узелки. Нѣсколько скамеекъ оставалось пустыхъ и я на одну изъ нихъ, именно противъ закусывающаго человѣка, положилъ узелокъ и сѣлъ. Мнѣ очень хотѣлось завладѣть скамейкой совсѣмъ, т. е. сидѣть на ней одному, для того чтобы хоть соснуть до отплытія парохода, такъ какъ я двое сутокъ не спалъ.

— Куда?—спросилъ меня закусывающій.

— Въ Пермь.

— А! Что у те тамъ?.. Ты Пермской?

— Пермской.

— По какимъ дѣламъ?

— По своимъ.

— Знаю что... Всякому свое дѣло дорого, — тѣмъ и кормится человѣкъ.

И онъ доѣвъ сайку, перекрестился, легъ на лавку лицомъ ко мнѣ, подложивъ подъ голову узелокъ и подсунувъ между узелкомъ и лицомъ свою лѣвую ладонь. Прошло полчаса; скучно. Мой визави не спитъ, а широко зѣваетъ, то глядитъ на меня, то дремлетъ, то что-то ворчитъ... Сталъ я чай пить, визави сѣлъ и долго глядѣлъ на меня. Потомъ вдругъ сказалъ:

— Вотъ что, почтенный, коли напьешься, не отдавай посуду-то... Пилъ да еще позываетъ.

— Я попотчую.

— Что разѣ у меня мало своего-то чаю... Попотчую... чортъ!—проворчалъ онъ и сталъ глядѣть на берегъ... Сталъ и онъ пить чай свой, но пилъ какъ-то лѣниво; видно было, что онъ очень скучалъ и не зналъ, какъ провести время.

— Ты, любезный, покарауль... — сказалъ онъ мнѣ и ушелъ гулять по палубѣ, не дождавшись моего отвѣта.

Пассажиры стали прибывать, и такъ какъ ихъ прибывало на кормѣ больше и больше, то мнѣ стоило большого труда отстаивать мѣсто моего визави; я даже на свою скамейку дозволилъ сѣсть какой-то бабушкѣ, одѣтой очень бѣдно.

Пришелъ визави. На кормѣ, кругомъ меня, уже заводились знакомства, и не умолкали разговоры. Паровикъ шипѣлъ сильнѣе прежняго. Визави легъ скоро и заснулъ; рядомъ съ нимъ на другой скамьѣ сидѣлъ чиновникъ—что можно было заключить по кокардѣ на его фуражкѣ, а рядомъ съ чиновникомъ на одной скамейкѣ — худощавый человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, съ бойкими глазами и выговоромъ, въ длинномъ на ватѣ сюртукѣ. Между чиновникомъ и бойкимъ человѣкомъ шелъ разговоръ такого рода.

— Хорошая вещь этотъ пароходъ,—говорилъ чиновникъ.

— Все одно, что домъ. Здѣсь, можно сказать, у насъ чистое отдѣленіе, потому мы подъ крышей, и люди все такіе образованные. На носу другое дѣло—тамъ крыши нѣтъ, и спасенья нѣтъ, говорилъ бойкій человѣкъ. Дѣйствительно на носу навѣса нѣтъ и поэтому тамъ сидѣло человѣка три, и то одѣтые очень бѣдно.

— Это такъ,—подтвердилъ чиновникъ.

— А вотъ тоже въ классахъ: диваны мягкіе, каюты отдѣльныя. И дешево.

— Хорошо! Я вотъ теперь отъ Москвы получилъ прогоны, а чтобы мнѣ стоило по почтовому тракту ѣхать?

— Сущая бѣда! Рубликовъ сотенку сбережете, чать?

— Ну ужъ! Долговъ много роздалъ.

Пароходъ пошелъ; говоръ на пароходѣ усилился, но потомъ сталъ затихать, половина пассажировъ, напившись чайку и плотно закусивши, легла спать; тѣ, которымъ спать сидя было неудобно, пошли гулять по палубѣ.

Дѣйствительно, хорошая вещь пассажирскій пароходъ. На трюмѣ сидитъ капитанъ и съ нимъ еще четыре человѣка, глядя на берега, на народъ; на палубѣ весело разговариваютъ, покуривая сигары; около капитанской каюты и входа въ первый классъ сидятъ тучные баре и тоже любуются на природу молча; по палубѣ прохаживаются взадъ и впередъ пассажиры—бѣдные и богатые, барыни и барышни. Всѣ веселые, какъ будто, но всѣмъ, какъ будто, и скучно. Одна только прислуга, не зѣвая, бѣгаетъ отъ класса къ классу и отъ буфета къ кухнѣ съ посудой и кушаньями. На носу на скамейкахъ лежало человѣка четыре пассажировъ, покрываясь или рогожей, или полушубкомъ, или просто въ зипунѣ; тутъ вѣтеръ сильно продуваетъ. Приходятъ сюда посидѣть, освѣжиться пассажиры изъ классовъ и съ кормы съ красными щеками, покачивающіеся на стороны. Болѣе и болѣе захаживаетъ палубныхъ пассажировъ въ буфетъ, находящійся во второмъ классѣ, гдѣ они выпиваютъ водки отъ скуки и ради сна; на палубѣ болѣе и болѣе покачивающихся и глядящихъ сонно.

Сидѣвшая рядомъ со мной старуха спала; чиновникъ дремалъ, визави тоже спалъ; бойкій человѣкъ закусывалъ: на его колѣняхъ разослана скатерть бѣлая, на скатерти лежатъ: булка, пара огурцовъ и кусокъ какой-то рыбы. Но онъ закусывалъ лѣниво, больше поглядывая на людей.

— Вы куда?—спросилъ меня бойкій человѣкъ.

Я сказалъ.

— Изъ студентовъ вѣрно?

— Да.

Я ушелъ опять на носъ. Немного погодя, бойкій человѣкъ стоялъ уже около меня.

— Я ужъ приложился! Славно теперь выпить... Не хотите ли?

— Покорно благодарю. На ночь развѣ.

— Дорого берутъ, шесть копеекъ рюмка, а свою водку не велятъ имѣть,—правила такія. Пойдемте.

Сходили, выпили. Бойкій человѣкъ началъ дремать, сѣлъ на свое мѣсто и скоро заснулъ. Старуха пила чай. Чаепитіе происходило и на палубѣ и въ классахъ, потому-что было девять часовъ вечера.

— Откуда, бабушка?—спросилъ я ее.

— Со святыхъ мѣстъ.

— Съ Кіева?—спросилъ ее мой визави, закусывающій огурцомъ и сайкой.

— Съ Кіева, батюшка.

— Охо-хо!.. Вонъ тамъ подъ Москвой ограбили на постояломъ...

— Плохо. А мужъ-то у те есть?

— Нѣту, родной; померъ, дай Богъ царство небесное. И старуха перекрестилась.

— А кто онъ у те былъ?

— Мастеровой на заводѣ... Да какъ уволили въ волю-то, совсѣмъ обѣднѣли: за все дорого стали брать. А я теперь съ дочкой живу, — ничего нѣту-ка.

— Плохо.

— То-то что плохо. Жаловалась губернатору, да ничего не выходило. Ладно, что отпустили.

— Зачѣмъ же ты въ Кіевъ ходила?

— По обвѣту, родимой. Какъ мужъ-то у меня померъ, и стали меня гнать изъ дому, а домъ-то мужъ передъ своей смертью строилъ.

— За что же тебя гнали?

— Да начальство говоритъ: деньги отдай, потому лѣсъ казенный, послѣ положенья какого-то взятъ изъ казны.

— Ты бы къ посреднику пошла...

— Ходила, родимой, да прогналъ, и говорить что есть не сталъ.

— А кто у васъ посредникъ?

— Да нашего господина сынъ. Самъ-то онъ все въ губернскомъ живетъ, а въ заводѣ конторщикъ правитъ... Ужъ не знаю, что и дѣлать! Знала бы—не пошла.

Спать сидя было очень неудобно, да и такъ какъ у меня не было теплой одежды, то меня хорошо пробиралъ холодъ. Ночью настала тишина на пароходѣ, особенно на палубѣ,—всѣ или спятъ, или дремлютъ, спрятавши руки въ свои одежды, кое-гдѣ храпятъ, но и этотъ храпъ заглушается шумомъ отъ трубы и колесъ. Не спятъ два лоцмана, стоящіе на трапѣ и вертящіе колесо, не спитъ сосѣдка моя старуха, буфетчикъ, считающій въ буфетѣ выручку за этотъ день и баре въ первомъ классѣ, забавляющіеся въ каютѣ игрой въ карты.

Свѣжо и темно. Сѣлъ я на одну изъ скамеекъ на носу. Вѣтра, кажется, нѣтъ, но отъ скораго хода парохода сильно продуваетъ. Впереди очень темно, по сторонамъ вода, пароходъ идетъ по срединѣ Волги, берега которой съ одной стороны высокіе — чернѣютъ какъ уголь, съ другой, какъ будто, не видать береговъ. Ночь звѣздная, но эти звѣзды не отражаются въ водѣ, потому-что рѣка бурлитъ. Изъ трубы вылетаютъ каждую секунду милліоны искорокъ, длинной полосой разстилаются надъ кормой и надъ рѣкой и, далеко-далеко отставая отъ парохода, падаютъ въ воду. Прошелъ мимо насъ пароходъ съ тремя баржами, кряхтя какъ будто отъ тяжести, прошелъ еще пароходъ съ двумя баржами, обогнали мы парохода два... Начало свѣтать, берега стали яснѣе; жизнь на рѣкѣ и на правомъ берегу виднѣе стала, только спятъ наши пассажиры.

Въ семь часовъ утра всѣ пассажиры встали. Напились всѣ чаю, послѣ чаю сдѣлалось всѣмъ скучно; стали всѣ ходить или дремать, дремать или ходить. И какъ рады всѣ какой-нибудь пристани: всѣ высыпаютъ на берегъ, что-нибудь купить или просто поразмяться на берегу до перваго свистка.

Рѣка Кама, при впаденіи ея въ Волгу, нисколько не уступаетъ послѣдней ни своей шириной, ни красивыми видами. Такіе же картинные берега съ садами, въ которыхъ растутъ яблоки и орѣхи, такія же села, не уступающія по наружности уѣзднымъ городамъ; но зато она меньше оживлена Волги: по Волгѣ плывутъ суда и пароходы отъ Нижняго до Перми и Астрахани и обратно, а здѣсь только до Волги—одна дорога и одинъ большой пунктъ—Пермь. Бойкій человѣкъ объяснилъ мнѣ,

что Кама въ концѣ іюля и августа становится мелка и что по ней плавятъ очень много разнаго сибирскаго товару внутрь Россіи и изъ Россіи въ Сибирь. Чѣмъ дальше плывешь, тѣмъ природа кажется бѣднѣе картинами, больше и больше попадается навстрѣчу плотовъ, на которыхъ работаетъ по трое рабочихъ въ синихъ изгребныхъ рубахахъ, больше пароходъ нашъ перегоняетъ бурлаковъ, тянущихъ бичевами суденки, по берегу, съ котораго отъ нихъ слышатся грустныя монотонныя пѣсни, съ охами да съ ахами... И какъ-то гордится человѣкъ, что онъ гуляетъ по пароходу, дѣлаетъ, что хочетъ на немъ, а пароходъ тащитъ его, и онъ въ въ пятыя сутки будетъ въ Перми.

— Куда это бурлаки тащатъ суденки? — спросилъ чиновникъ своего сосѣда.

— Въ Чердынь.

— Далеко это?

— Да отъ Перми верстъ триста съ лишнимъ.

— Когда же они тамъ будутъ?

— А если будетъ попутный вѣтеръ,—недѣли черезъ три, а то къ осени придутъ.

— Сколько имъ платятъ?

— Всяко. Отъ устья Камы до Чердыни рублей десять, да весной они съ заводовъ барки плавятъ— тамъ рублей восемь или двѣнадцать за сплавы.

Баре, покуривая сигары, тоже перекидывались замѣчаніями на счетъ бичевниковъ.

— Должно-быть, тяжело?

— Да что тутъ тяжело — вѣдь ихъ человѣкъ пятнадцать.

— Всеже. Вѣроятно, съ чѣмъ-нибудь?

— Да... Да имъ что! Они привыкли къ этому. Доберутся до села или города—пьянствовать начнутъ, передерутся.

— Отъ этого они, должно быть, бѣдный народъ.

— И даже лѣнивый...

И баре ушли въ свои каюты.

Въ Ланшевѣ пароходъ остановился. Тамъ на берегу стояло человѣкъ полтораста крестьянъ въ синихъ изгребныхъ рубахахъ, въ такихъ же штанахъ, въ лаптяхъ, лѣтнихъ и зимнихъ шапкахъ, съ котомками на спинахъ. Въ котомкахъ заключались полушубки, лапти и мѣшечки съ хлѣбомъ. Пассажиры вышли на берегъ.

Крестьяне разсуждали между собой.

— Петро, бѣги! Пустятъ али нѣтъ?

— Дожидай, пустятъ! Ишь, баръ много.

Крестьяне стояли тѣсно другъ за другомъ; многіе изъ нихъ держались за опояски товарищей.

Я закурилъ трубку у одного изъ нихъ и спросилъ его:

— Вы, чего, на пароходъ, что ли?

— То-то что на пароходъ бы, не пускаютъ, цать.

— Отчего?

— Вцера, такъ-ту простояли...

— Хлестало, хлестало дождемъ-то, промоцило: не пустили.

Они меня приняли за пароходнаго начальника и стали просить, чтобы я принялъ ихъ на пароходъ.

— Я тоже за деньги ѣду, а вонъ того просите, у коего на шапкѣ полоска золотая.

Человѣка три пошли. Доложили капитану о желаніи бурлаковъ прокатиться на пароходѣ, онъ согласился. Бурлаки, боясь того, чтобы кто-нибудь изъ нихъ не остался на берегу, держась другъ за друга, пошли скоро на пароходъ.

— Гавря!.. Всѣ ли?— кричалъ одинъ бурлакъ сосѣду.

— Кирилки нѣтъ.

— Ахъ, чортъ! Кирилко?

— Ась!

— Здѣся, будь проклятъ!

— Всѣхъ приняли?

— Всѣхъ.

— Нѣту—бѣги скорѣе.

Однако на пароходъ попали не всѣ: человѣкъ сто попали на палубу, а пятьдесятъ не пустили, потому-что было некуда. Оставшіеся на берегу были очень недовольны и обидѣлись тѣмъ, что ихъ не пустили на пароходъ; ругали тѣхъ, которые успѣли попасть туда, и ждали, авось пустятъ ихъ. Зато, какъ радовались тѣ, которые попали: они кричали стоявшимъ на берегу бурлакамъ.

— Матвѣйко! бѣги сюда!

— Лѣшакъ! что не держался — вотъ и стой.

Стоявшіе на берегу бурлаки подходили къ конторкѣ, хотѣли попасть на пароходъ, но мостки убрали, и они стали ругать товарищей.

— Успѣли небось!

— Сиди знай!

Пароходъ пошелъ. Бурлаки толпились по серединѣ палубы, отчего стало очень тѣсно.

Капитанъ послалъ ихъ на носъ, и черезъ полчаса бурлаковъ было, какъ будто, незамѣтно; они расположились на скамейкахъ и на полу около скамеекъ; тогда какъ на кормѣ, гдѣ было больше мѣста, было тѣсно двадцати человѣкамъ. Помощникъ капитана сталъ пятнать ихъ, т. е. чертилъ мѣломъ большіе кресты на спинѣ каждаго бурлака.

— Для чего вы это дѣлаете?— спрашивали знакомые.

— А чтобы не убѣжали. Теперь съ нихъ я деньги взялъ, а такъ какъ мы имъ билетовъ не даемъ, то на пристаняхъ и будутъ знать, что они ѣхали не даромъ.

— Да вѣдь крестъ стереться можетъ.

— Не сотрется, не въ первый разъ: мѣлъ такой, что въ деревню придутъ пятнанные, и будутъ хвастаться, что на пароходѣ ѣхали.

Бурлаки не обижались пятнаньемъ, напротивъ, имъ какъ будто нравилось это.

— Лекша!

— Э!

— Пятнали те?

— Чего?

— Пятнали, баютъ те, спину? поди подставь ее.

Всѣ бурлаки хохотали, и непятнанный искалъ того, кто пятнаетъ, потому-что они думали, что всѣхъ такъ пятнаютъ. Я стоялъ недалеко отъ перваго класса и курилъ изъ трубки махорку. Повидимому, бурлаковъ занимало то, что я въ очкахъ.

Одинъ подошелъ ко мнѣ.

— Дай, братанъ, покурить.

Я далъ. Онъ, вѣроятно, попросилъ у меня потому, что изъ числа пассажировъ, на пароходѣ, въ очкахъ, никто, кромѣ меня, не курилъ изъ трубки махорку, и это забавляло очень многихъ пассажировъ, но никто не просилъ курить изъ моей трубки.

— Давай мѣняться, — у те чебукъ баской.— Сказалъ мнѣ бурлакъ и показалъ свой. Его чубукъ былъ нѣсколько толще и не выкрашенъ.

— Да вѣдь твой-то лучше.

— Нѣтъ твой бассяе.

— А трубку промѣняешь?

— Трубку-то!.. Трубка-то, батъ, изъ дому, дубовая, а у те что? Глина... Нѣтъ, не промѣняю тожно. И ступилъ въ толпу.

Немного погодя, я пошелъ разыскивать того бурлака, который мѣнялся со мной чубукомъ. Онъ сидѣлъ въ серединѣ. Пройти къ нему было очень трудно, потому-что бурлаки сидѣли на скамейкахъ такъ тѣсно, что между ними никому не возможно было сѣсть, а на полу въ разныхъ направленіяхъ лежали бурлаки. Одни изъ нихъ спали, другіе такъ лежали. Бурлаки были различныхъ лѣтъ; тутъ были и старики и парни отъ тринадцати лѣтъ, но всѣ не могли, кромѣ силы, похвастаться красотой и здоровьемъ. Когда я шелъ-плелся, на меня всѣ глядѣли.

— Ну, такъ давай мѣняться-то,—сказалъ я.

— Давай.

— Чего ты хошь мѣняться-то?—спросилъ бурлака сосѣдъ.

— Да вонъ чубукъ мнѣ его, бассяе мово.

— Нуко, покажи.

Я показалъ. Чубукъ осмотрѣли человѣкъ десять, изъ коихъ его похвалили только двое.

Я промѣнялся.

— Ты, братанъ, зачѣмъ стекла-то напялилъ? — спросилъ меня одинъ бурлакъ, давно поглядывавшій на меня.

— Плохо вижу безъ нихъ.

— Вре!

— Ну-ко.

Человѣка четыре протянули ко мнѣ руку. Я далъ одному изъ нихъ очки и сказалъ:

— Только, братцы, не разбейте.

— Пошто бить!

Человѣкъ двадцать стали глядѣть на того, который сталъ смотрѣть въ очки, не надѣвая ихъ; они то улыбались, то толкали другъ друга, то дѣлали замѣчанія:

— Что?

— Не такъ, дай-кась.

— Постой!

— Поди ты къ лѣшимъ? Ничего не видать.

— Вре!

— Ей-Богу!

Меня стали просить разсказать, зачѣмъ я ношу, коли не видать ничего, и какъ я ни старался объяснить имъ, они не вѣрили.

— Я лѣтось видѣлъ, батъ, въ Перми, двоихъ со стеклами-те. Диво, батъ. Да у те глаза не настоящіе поди.

— Настоящіе.

— А эти изъ глазъ развѣ сдѣланы?

— Это камни такіе.

Однако меня выручилъ одинъ молодой бурлакъ, надѣвшій очки.

Посмотрѣвши въ нихъ, онъ сталъ улыбаться и въ восторгѣ проговорилъ.

— Что за цюдо!

— Что?

— Гли, какъ видно!.. Э! ай-яй!

Бурлаки захохотали надъ нимъ, говоря, что онъ вретъ, но онъ божился.

Надѣлъ я очки и стоялъ молча середи нихъ, слушая, какъ они смѣются надъ Поташкой слѣпымъ, увидившимъ по ихъ понятіямъ лѣшаго въ очкахъ. Заговорить съ ними о чемъ-нибудь было очень трудно, потому-что они видѣли во мнѣ человѣка не ихняго сорта; разспрашивать ихъ о чемъ-нибудь тоже не приходилось, да и они ничего бы не отвѣтили мнѣ. Они то смотрѣли на меня, то стѣснялись меня, какъ будто я мѣшалъ имъ. Я хотѣлъ идти.

— А ты сядь, — сказалъ мнѣ тотъ, которому я промѣнялъ чубукъ.

— Да куда сѣсть-то. У васъ и такъ мѣста-то нѣту.

— Двинь-сь.

— Ну, чего двинь-сь! самимъ тѣсно!.. Убери ты, чертъ, лапы-те! Ишь развалился!

— А у те табачку нѣтъ ли?

— Какъ нѣту! И я далъ просившему табакъ.

— А ты изъ какихъ?

— Изъ поповскаго отродья-то?

— Да.

— А у те кто отечь-то?

— Онъ у меня далеко. А я на промысла ѣду въ приказчики.

— Ишь ты... А и то же ловко тамъ служить-то. Сергѣй, какъ бы туда?

— Ну а вы, братцы, изъ какихъ мѣстовъ-то?

— Да всякіе: есть и Сысольскіе (усть-сысольскіе), Глазовскіе, Чердышскихъ много.

— А вонъ тѣ, на носу-то,—Юрменской волости, Вячкіе.

— Давно бурлачите-то?

— Да всяко. Я вотъ ужъ девятой, кажись, а тотъ-то вонъ, Макаръ, тридцать лѣтъ ходитъ.

— Зато лоцманъ.

— Трудновато, поди.

— Да ништо... Всяко бываетъ. Бываетъ такъ трудновато, что и не говори, особливо бичевой идти назадъ.

— Это что! Обманываютъ много. Вотъ эти приказчики, что нанимаютъ насъ, такъ тѣ что дѣлаютъ...

— А что?

— Да что? Срядитъ на мѣстѣ за пятнадцать цѣлковыхъ въ лѣто, а всего-то придется восемь, особливо ежели въ Сарапулъ. Хлѣбомъ, баетъ, забралъ.

— Зачѣмъ же вы нето бурлачите?

— Зацѣмъ? А ты поживи и говори.

— Цево ты баешь: прикащикъ баетъ!

— А ты цево? Не нанимать ли ужъ?

Многіе лежащіе услыхали это, сѣли и, протирая глаза, стали смотрѣть на меня.

— Такъ ты це ино! бай: коли ладно дашь—гоже.

— Вотъ бы тѣхъ-то ништо!

— Молчи. Меньше насъ—больше дасъ.

— Я, братцы, самъ еще только опредѣлился. Тоже, знаете, приказчикъ приказчику рознь. Иной приказчикъ тридцать лѣтъ живетъ, денегъ сколько накопилъ, а иной и мѣсяцъ не прослужитъ. Потому видитъ, что хозяинъ плутуетъ, народъ обижаетъ.

— Это такъ. А ты нето шче-же?

— Цего онъ баетъ?

— Онъ баетъ: хозяинъ, слышь, цего-то...

— Ты про како хозяина-то баешь?

— Да хозяева всякіе есть. Вотъ хоть бы я къ примѣру у купца служилъ, на пристани дрова да рогожи караулилъ.

— Ты?... А пошто?..

— Пото, што рогожъ-то много куплено, а ими кладь покрываютъ, что на баржахъ возятъ.

— Видали.

— Ну, я караулилъ, караулилъ, меня и отставили отъ караулу. Сказали: продаю рогожи, а я зналъ, что смотритель, кой старѣе меня, самъ ихъ продаетъ, а на меня все эдакъ сердито глядитъ—значитъ, не понравился я.

— Гли же ты! Ахъ ты экуня Ваня!

— Цего вы его слушаете! Станетъ онъ рогозы караулить!

— А поце?

— А пото—разѣ кто со стеклами каравулитъ!—проговорилъ одинъ старикъ.

Впрочемъ на это замѣчаніе никто не обратилъ вниманія.

Разговорился я съ ними все больше и больше, чему много способствовала трубка и махорка и то, что я умѣлъ понимать ихъ, и они понимали меня. Всѣ они были люди бѣдные, занимающіеся бурлачествомъ или съ дѣтства, или послѣ нѣсколькихъ неудачъ въ жизни; тамъ въ своихъ деревняхъ имъ рѣшительно нечѣмъ заниматься, ни лѣтомъ, ни зимой. Въ дополненіе къ «Подлиповцамъ» я могу сказать только то, что эти господа развитѣе тѣхъ, которые дальше своего города, отъ котораго они зависятъ съ административной стороны, нигдѣ не бывали. Развитіе это состоитъ въ томъ, что они, побывавши въ разныхъ городахъ, увидавши больше людей, отвыкли уже отъ нѣкоторыхъ привычекъ, вынесенныхъ ими изъ деревень и уже такъ свыклись съ бурлацкою жизнью, что до самой смерти занимаются или бурлачествомъ или работою на пристаняхъ, баржахъ, судахъ, пароходахъ; а семейства ихнія, особливо женскій полъ, перебиваются въ деревняхъ кое-какъ. Прозанимавшись года два бурлачествомъ, они уже отвыкаютъ отъ осѣдлой жизни; имъ скучно кажется жить въ деревняхъ или городахъ и ихъ тянетъ къ рѣкѣ. Нѣкоторые изъ нихъ даже и зимой не живутъ долго въ деревняхъ, а ищутъ мѣста на зиму гдѣ-нибудь.

Баре изъ перваго класса рѣдко выходили на палубу днемъ, потому-что бурлаковъ прибыло еще больше отъ Сарапула; они то ходили, то стояли кучками, то лежали, гдѣ только было можно приткнуться на пароходѣ. Баре удивлялись только тому, что они смирны и могутъ валяться, гдѣ попало. Отъ дождя бурлаки ничѣмъ не покрывались, а только хохотали надъ тѣмъ, кто прятался подъ чью-нибудь рубаху.

— Ужасный этотъ народъ!—говорилъ одинъ баринъ другому.

— Здѣсь можно заразиться отъ ихъ вони!

— И какой это балагуръ сочинилъ исторію о бурлакахъ.

— Какую?

— Да въ «Современникѣ» была напечатана, названія не помню. Ну просто мерзость... Ну какъ можно описывать такую дрянь. Что тутъ хорошаго?

— Ужасно!

Баре пожали плечами и ушли въ классъ.

Ильичъ.

Есть у насъ въ городѣ Остолопѣ чудакъ одинъ—Ильичъ. Никто изъ насъ не можетъ понять этого чудака; только мы и знаемъ, что онъ дворянинъ, сосланъ къ намъ за что-то, занимался въ земскомъ судѣ и уголовной палатѣ, чудилъ тамъ, а теперь нигдѣ не служитъ. Человѣкъ онъ женатый уже на другой, имѣетъ пятерыхъ ребятъ, изъ коихъ самый старшій, Алексѣй Петровичъ Колотыринъ, семнадцати лѣтъ, служитъ писцомъ въ уѣздномъ судѣ, и надо вамъ сказать, шельма, отчаянный человѣкъ, вылитый батюшка. Да, чудной этотъ человѣкъ Ильичъ! кто его не знаетъ въ городѣ? Его даже собаки, коровы, кошки боятся: какъ завидятъ они Ильича, выходящаго изъ-за угла, безъ оглядки бѣгутъ, куда попало, а объ нашихъ дѣтишкахъ и говорить нечего: это просто, не то, чтобы на улицу выйти, къ окошку, что есть, боятся подойти!.. Жены да мы привыкли къ нему, да и то иной разъ Ильичъ такого страху напуститъ на насъ, какъ попадешься ему на улицѣ,—давай только Богъ ноги! Съ одного его реву такъ перепугаешься, что и уснуть долго не можешь.

И зачѣмъ это такой человѣкъ у насъ живетъ?

Сегодня ночью я едва способился съ моей женой; ей-Богу! Лежимъ мы на кровати и, какъ будто, засыпаемъ. Только вдругъ жена вздрагиваетъ, вздрагиваетъ эдакъ,—даже я испугался—открыла глаза и смотритъ на дверь.

— Что, говорю, душка?

— Ильичъ... шепчетъ она.

— Гдѣ? спрашиваю.

— Ровно онъ пришелъ.

Перекрестилъ я ее; нѣтъ: сѣла на кровать и вслушивается.

— Это онъ непремѣнно... онъ! Кричалъ: бужу, бужу!! держи-и! ловии-и!!!...

Ну кое-какъ успокоилъ! А жена у меня, Богъ съ ней, больно нервная. Не дай Богъ, какъ она отъ какого-нибудь Ильича захвораетъ.

А сегодня, слушайте, какого онъ мнѣ страху напустилъ. Иду это я утромъ въ казначейство. Иду, не торопясь, потому-что, сами знаете, въ это время у насъ спѣшной этакой работы нѣту-ка. Ну и задумался, такъ пріятно о чемъ-то задумался, вдругъ, какъ крикнетъ этотъ лѣшій, что есть мочи, какъ изъ ружья выстрѣлилъ.

— Бужу, бужу! Ана́-ее-ма!!!

Я вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ; по тѣлу морозъ, сердце заледенѣло, а онъ стоитъ на углу противъ Максимовскаго дома и смотритъ на меня. И такая, знаете ли, на меня напала трусость, что я рѣшительно не зналъ, что дѣлать: хоть провалиться, такъ въ ту же пору! Всталъ я и стою эдакъ, гляжу на него; а онъ стоитъ на одномъ мѣстѣ и тоже на меня глядитъ: а на улицѣ хоть бы собака была—нужды нѣтъ, что утро, и въ это время всегда много ходитъ по ней нашей братіи. Признаюсь, я никогда не видалъ Ильича хорошенько, потому раньше не случалось съ нимъ встрѣчаться такъ близко. Знаете, высокій такой, чуть не сажень, лицо морщинистое, глаза большущіе, носъ широкій, волоса длинные, всклокоченные, въ нихъ торчатъ не то стружки, не то перья птичьи, а бороды нѣтъ. Это ничего, а вотъ то страшно, какъ онъ вдругъ сердито взглянетъ, да кулаки сожметъ, да крикнетъ... голосъ у него—ухъ какой отчаянный!—куды нашему соборному басу?! И это ничего!.. Нѣтъ, вы полюбуйтесь-ко на него: на немъ надѣтъ вицъ-мундиръ, да и надѣтъ-то просто на рубаху; въ лѣвой рукѣ шляпа; безъ брюкъ, въ однихъ штанахъ, босикомъ... да это просто жалости достойно!.. Ну, какой онъ благородный послѣ этого! ну, какъ можно дозволять благородному марать свое достоинство... Я коллежскій регистраторъ, и Боже меня избави, чтобы я когда-нибудь, даже за ворота, и то въ халатѣ, босикомъ вышелъ. Случилось, какъ-то, я на пожаръ прибѣжалъ въ халатѣ, да надѣлъ фуражку съ кокардой, такъ предсѣдатель такую фтору мнѣ задалъ!.. стыдъ! А этотъ-то, этотъ-то! гдѣ же глаза у начальства?

Ну вотъ я и стою, боязнь прошла, только не знаю, идти ли впередъ или подождать кого-нибудь. Идти впередъ придется мимо Ильича, а онъ, знаю, не пропуститъ. Идти назадъ, думаю, опоздаю, казначей спроситъ. Только,—что же вы думаете, положилъ онъ шляпу на тротуаръ—а шелъ дождь—и ворчитъ что-то, потомъ вицъ-мундиръ скинулъ, разостлалъ его на тротуарѣ, поглядѣлъ на все это, прискокнулъ и вдругъ какъ выпрямится весь, да ткнетъ однимъ пальцемъ правой руки вверхъ, и крикнетъ:

— Вотъ!.. Во-о-тъ... вы всѣ тутъ, а я здѣсь, здѣсь... здѣ-сь!.. Нѣтъ, шалишь! И запѣлъ онъ: шалишь, шалишь—ну, просто, страхъ. Даже одна молодая женщина, выглянувшая въ это время въ окно и посмотрѣвшая на это чудо, ойкнула.

Долго онъ простоялъ такъ, долго ворчалъ что-то, потомъ пошелъ, и вещи оставилъ, пошелъ по улицѣ по направленію ко мнѣ.

— По тротуарамъ не ходить! ногъ не марать! подолы не обтирать!.. Пиши! подпиши про слободу всѣмъ миромъ. Я васъ... О! ворчалъ Ильичъ.

Къ счастію моему вышелъ изъ воротъ чиновникъ какой-то. А Ильичъ мелетъ, понять невозможно: выпустятъ?.. карманъ подставляй... кланяться шея болитъ... Молчать, Степка! Шшш...

— А, Ильичъ! загулялъ братъ? — спросилъ Ильича чиновникъ.

— Подвязки потерялъ, да не сыщу,—пробурлилъ Ильичъ и остановился. Ужъ больно страшно было его лицо въ это время. Чиновникъ захохоталъ, а онъ закричалъ:

— Подлецы!! страшный судъ на улицѣ, а вы что? что! Я скажу, все скажу!

И заплачь же Ильичъ на эту пору! Вотъ диво-то? Эдакой дубина, пятидесяти лѣтъ человѣкъ и вдругъ плачетъ. Жалости достойно!

— О чемъ вы плачете, г. Ильичъ, — спросилъ чиновникъ Ильича.

— Ребятъ моихъ хоронятъ... малютокъ...— и запѣлъ вдругъ похоронную.

— Отчего вы не служите, коли вамъ ѣсть нечего? И такъ вамъ почти въ долгъ и водку-то подаютъ,—спросилъ опять чиновникъ, когда Ильичъ затихъ и сѣлъ на тротуаръ.

Я похвалилъ это, но Ильичъ какъ закричитъ вдругъ: бужу! бужу! и подбѣжалъ къ намъ, мы давай только Богъ ноги! Я только у своего казначейства опомнился.

— Ну, это просто ни на что не похоже! Наконецъ я вамъ скажу, по улицамъ въ нашей сторонѣ ходить нельзя.

Чиновники всѣ хохотали надо мной, даже я чуть не заплакалъ съ досады... Говорили они, что Ильичъ вчера нашего предсѣдателя испугалъ такъ, что тотъ славно отвозилъ его палкой. Оно такъ и слѣдуетъ: не дури, не дури!.. Охъ, если бы я былъ предсѣдатель!

А отчего Ильича не садятъ за это въ полицію? Оттого, что онъ явнаго вреда никому не дѣлаетъ, кромѣ жены. Человѣкъ онъ, видите ли, пьяница горькая, но плутъ такой, что бѣда! А зла никому не дѣлаетъ: покричитъ, покричитъ и только. Пожалуй, ночью и спать не дастъ. А онъ каждую ночь къ плотинѣ бѣгаетъ и кричитъ: держи, лови, держи его! грабители, мучители! а никого вѣдь не побьетъ. Даже и не воруетъ вѣдь... Это-то вотъ и хорошо. Наши вонъ мѣщанишки да старыя бабы за юродиваго его считаютъ, потому онъ зимой босикомъ по снѣгу ходитъ, да мы-то понимаемъ. Этого еще не достаетъ!.. Нынче немного наюродничаешь: народъ моднѣе сталъ и нашего брата не проведешь—не тѣ времена.

А Ильичъ совсѣмъ не то: этотъ просто придурой. и вотъ что досадно-то: зачѣмъ ему поблажаютъ, добро бы уѣздный городъ! И добро бы человѣкъ-то былъ неизвѣстный.

Сначала, какъ онъ былъ сюда привезенъ, этого чудачества въ немъ не было. Пьяница-то онъ былъ большой и буянъ первой руки, должно полагать, и прежде пріѣзда сюда. Видите ли, ему больно не нравилось, что его никуда на службу не принимаютъ. Мы и теперь брезгаемъ ссыльными, да и теперь у насъ у самихъ чиновники безъ мѣстовъ живутъ... Ну вотъ онъ и пилъ, будто оттого, да по міру ходилъ. Ужъ не знаю только, какимъ это образомъ онъ попалъ въ земскій судъ, не въ коронную, а такъ, вмѣсто мебели. Жалованья ему не давали, потому, коли хочешь — занимайся, не хочешь—разсказывай сказки. Онъ дѣло хорошо зналъ, лучше даже секретаря судейскаго, и поэтому секретарь и исправникъ давали ему сочинять бумаги, а такъ какъ онъ переписывалъ скоро, то ему и поручали переписывать большіе журналы. За это, по-моему, надо было бы ему хоть сколько-нибудь назначить; а ему не давали, потому-де, что онъ долженъ даромъ работать. Вотъ онъ и сталъ выдѣлывать штуки. Однажды подходитъ онъ къ исправнику въ присутствіе, и говоритъ:

— Семенъ Семенычъ, такъ и такъ, дайте хоть сколько-нибудь.

— Ничего я не могу дать. Казенныхъ я дать боюсь.

— Ну хоть своихъ.

Думалъ, думалъ исправникъ и сказалъ: перевернись какъ-нибудь.

Что жъ бы вы думали? Ильичъ и давай перекувыркиваться — три раза перекувырнулся, какъ маленькіе ребята черезъ голову перекувыркиваются.

Исправникъ удивился.

— Ты чего это, Ильичъ? — спрашиваетъ онъ Ильича, а тотъ стоитъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

— Ахъ, подлецъ. Ну, дѣлать нечего.

И далъ ему исправникъ рубль, а какъ Ильичъ еще разъ перевернулся, то онъ велѣлъ положить Ильичу три цѣлковыхъ и сталъ мучить Ильича; зато, если Ильичъ получитъ жалованье, цѣлыя двѣ недѣли не ходитъ на службу, за это время дѣла и остановятся. Пошлетъ секретарь сторожей за Ильичемъ, тѣ найдутъ его въ кабакѣ пьянаго: видите ли, онъ прошенія мужикамъ сочинялъ, тѣ и потчивали его—ну и свяжутъ его да и притащатъ въ судъ, сапоги запрутъ. Однако Ильичъ и безъ сапогъ убѣгалъ изъ суда. Стали въ присутствіи запирать.

А тутъ пришлось и выгнать Ильича изъ суда. Часто онъ говорилъ архиваріусу:

— Зачѣмъ это ты дѣла караулишь, продавалъ бы зналъ.

— Продавать я боюсь, а оклеивать комнаты оклеиваю. Двѣ комнаты оклеилъ, да зятю отдалъ, да и то я ношу старыя сенатскія вѣдомости.

Ну и сталъ онъ таскать дѣла въ кабаки да въ лавки, а тамъ брали и давали ему табаку и водки. Говорятъ, половину архива стаскалъ. Только архиваріусъ былъ больно старый человѣкъ, сталъ говорить ему.

— Ты бы, Ильичъ, постыдился: вѣдь ужъ скоро таскать нечего будетъ.

Ладно, думаетъ Ильичъ и утащилъ у него алфавитъ. Архиваріусъ пожаловался исправнику,—Ильича и не стали пускать въ судъ. А что эта кража сошла съ рукъ такъ легко, такъ это потому, что исправникъ самъ увозилъ домой на оклейку кухни и прихожей старые архивные журналы. Да исправникъ и боялся съ Ильичемъ тягаться, потому что Ильичъ всѣ его плутни зналъ.

Житье было бы плохое, если бы онъ не прикинулся такимъ чудакомъ. Одинъ годъ даже онъ служилъ въ уголовной палатѣ, за столоначальника тамъ управлялъ и попалъ туда онъ тоже хитростью.

Такъ какъ онъ сочинялъ разныя кляузы, то наши губернскіе тузы слышали объ немъ. А какъ онъ сталъ эдакъ шататься босикомъ по улицамъ, пѣть да кричать, что есть мочи, то объ немъ всѣ узнали. Губернскіе тузы наши даже останавливались, чтобы послушать, что мелетъ Ильичъ, и хохотали, если онъ рѣзкости говорилъ. Ужъ не понимаю, что имъ тутъ нравилось... Только предсѣдатель былъ именинникъ. Вотъ Ильичъ и входитъ въ прихожую предсѣдателя, а у того гости уже разгулялись. Лакеи толкаютъ Ильича, кричатъ, а онъ нейдетъ.

— Что тамъ такое?—спросилъ предсѣдатель лакеевъ.

— Дурачекъ Ильичъ пришелъ.

— Ахъ, кстати... Пожалуйте сюда, Ильичъ. Что это у васъ?—говоритъ предсѣдатель. Ильичъ держалъ въ рукахъ кошку; на шеѣ у той висѣлъ капустный листъ.

— У этой особы младенцы родились, такъ она прошеніе вамъ принесла на капустномъ листѣ,— сказалъ Ильичъ.

И не хохочетъ вѣдь, бестія.

Гости и предсѣдатель захохотали и долго хохотали. А скажи нашъ братъ такое слово—бѣда! Счастье этимъ плутамъ.

— О чемъ она проситъ?—спросилъ кто-то, помирая со смѣху.

— Выдать ей пособіе.

Опять гости захохотали. О дамахъ и говорить нечего.

— Балакиревъ!—кричали гости.

— А твоя кошка умѣетъ танцовать? — спросила одна дама.

— Если угодно я за нее, только даромъ мы плясать не намѣрены: она недавно родила, а я по ея милости все за докторами бѣгалъ. Потомъ, какъ крикнетъ: бужу! бужу!.. дамы попадали въ обморокъ, мужчины попятились. Ильичъ что-то началъ кричать угрожающее, его вытолкали, а на другой день потребовали къ полицеймейстеру. Онъ былъ у насъ старый человѣкъ и почему-то поблажалъ Ильичу.

— Отчего ты не служишь? Гдѣ ты находишься?—спросилъ его полицеймейстеръ.

— Въ комитетѣ для топтанія дорогъ и площадей,—отвѣтилъ тотъ рѣзко.

— Если ты еще будешь шляться по домамъ да дѣлать скандалы, въ сумасшедшій я тебя упеку.

— Дайте мнѣ работу.

— Хорошо. Ступай къ предсѣдателю.

И сталъ онъ тамъ сочинять бумаги и доклады на рѣшенія. За это ему платили десять рублей въ мѣсяцъ, только онъ никакъ не могъ отстать отъ пьянства и чудачества. Всѣ его любили тамъ за то, что онъ смѣло говорилъ съ предсѣдателемъ, смѣшилъ служащихъ, показывалъ столоначальникамъ, и всѣ хвалили его, когда онъ былъ трезвый, но пьяный онъ никогда не ходилъ въ палату и чудилъ на улицахъ, а въ это время у него умерла любимая имъ дочь. Съ этихъ-то поръ на него нашло больше блажи, онъ рѣдко сталъ ходить въ палату; стали его оставлять тамъ безъ сапогъ, онъ и вовсе пересталъ ходить туда. Онъ даже и жену по-своему любилъ: кусаетъ ее. Она говоритъ, что онъ не дерется и не ругается, а сидитъ-сидитъ, смотритъ на нее, вдругъ соскочитъ и давай кусать ухо или, что попало. Удивительно, что онъ дѣтей еще не кусаетъ, а какъ только посадитъ къ себѣ на колѣни сына или дочь и начинаетъ плакать: «бѣдные вы, говоритъ; а развѣ я виноватъ». И пойдетъ блажить. Жалости достойно. Что-то будетъ съ нимъ дальше.

Наши жены говорятъ: лучше бы онъ ужъ померъ. Тогда бы намъ спокойнѣе было. Да, пожалуй, онъ и помретъ скоро: весь день кружитъ по городу, а ночью валяется гдѣ-нибудь около кабаковъ. Это ужъ рѣдкость, что не слыхать Ильича. А не слыхать его потому, что онъ трезвый сидитъ дома, какое-то прошеніе строчитъ. Тогда у насъ тихо въ городѣ, и жена не нахвалится имъ. Ну, да она полы моетъ да бѣлье стираетъ въ городѣ, а вотъ ребятъ-то жалко; даромъ ихъ никуда не принимаютъ, Олешка самъ три цѣлковыхъ получаетъ. Совѣтуемъ мы ей разсовать ихъ къ портнымъ или сапожнымъ мастерамъ, да жалко, говоритъ. И баба эта тоже чудная: «я, говоритъ, съ мужемъ не разстанусь, надъ нимъ, больнымъ человѣкомъ, всѣ, говоритъ, издѣваются, только я, говоритъ, одна утѣшницею... А что если онъ покусаетъ въ сумасшествіи, такъ это заживетъ»... Жалости достойно!.. На что Ильича ужъ не одинъ разъ хотѣли посадить въ сумасшедшій домъ за то, что онъ на улицахъ блажитъ, такъ она вѣдь все вымаливала. Я думаю, не одинъ разъ изъ-за него по полу ползала передъ нашими уважаемыми начальниками. А дойдетъ, поди, дѣло до того, что посадятъ Ильича въ сумасшедшій домъ, только ждутъ случая, когда онъ жену загрызетъ.

Внучкинъ.

У одного небогатаго крестьянина Покровскаго села родился сынъ. Этому сыну не довелось видѣть своей матери, потому-что она умерла черезъ сутки по разрѣшеніи. Отецъ этого ребенка Сидоръ Еременчъ запилъ и допившись до бѣлой горячки повѣсился. У него былъ братъ Кузьма Еременчъ волостной писарь, который, изъ состраданія и взялъ къ себѣ на воспитаніе сына Сидора Еременча, котораго и назвали во святомъ крещеніи Васильемъ.

Никто такъ не жилъ въ селѣ достаточно какъ люди, заправлявшіе дѣлами волости, особливо волостной старшина и писарь Внучкинъ. Это былъ такой человѣкъ, который со всѣми ладилъ; нужно ли что крестьянамъ—онъ сдѣлаетъ, но зато получитъ отъ нихъ малую толику; нужно ли что старшинѣ или головѣ—онъ сдѣлаетъ, что можетъ. Станетъ ли становой придираться къ сельскому начальству, онъ и тутъ выручитъ ихъ; пріѣдетъ ли окружной начальникъ, и тотъ, благодаря Внучкину, уѣдетъ съ миромъ. Великій былъ человѣкъ Внучкинъ, и у этого-то человѣка воспитывался Василій Сидорычъ замѣсто сына, потому-что дѣти Степаниды Левоновны умирали, къ крайнему ея огорченію. О нѣжномъ обращеніи съ ребенкомъ говорить нечего; о томъ чтобы онъ былъ всегда сытъ, тоже нельзя похвастаться и какъ бы онъ ни воспитывался—намъ нѣтъ дѣла, только Василій Сидорычъ остался цѣлъ и живъ до сихъ поръ.

Вася былъ мальчикъ неглупый: онъ все понималъ, что дѣлается вокругъ, и скоро научился разнымъ плутнямъ. Такъ, еще не зная грамоты, онъ одинъ разъ долго слѣдилъ за дядей, сводившимъ въ книгѣ отчеты и считавшимъ деньги. Объ этихъ отчетахъ онъ слышалъ, разговоръ дяди съ старостой, слышалъ какъ дядя взялъ съ Петра Окулова пятьдесятъ рублей зато, чтобы Окуловъ не попалъ въ рекруты. Эту книгу Вася бросилъ въ печь, и какъ смѣялся потомъ надъ тѣмъ, что дядя долго злился на всѣхъ, шептался съ головой и т. п. Больно непріятно было мальчику слышать отъ крестьянъ слова: «вотъ этотъ Васька въ дядю пойдетъ. Ужь такого подлеца, какъ нашъ писарь, нигдѣ не найдешь: куда ни сунься, все этотъ Кузька напрокудилъ. А какъ его смѣнишь, коли начальство его опредѣлило».

Скоро Вася выучился грамотѣ, и послѣ этой выучки жизнь его измѣнилась: дядя заставлялъ его заниматься въ волостномъ правленіи, чтобы онъ привыкалъ къ дѣлу, и Василій въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ такъ понаторѣлъ къ дѣлу и такъ набилъ руку, что во многомъ не уступалъ своему дядѣ.

Такъ продолжалось четыре года. Къ концу четвертаго года Кузьма Емельянычъ облѣнился, сталъ пить водку, запускалъ дѣла, и волостное правленіе рѣшило замѣнить Кузьму Васильемъ съ тѣмъ, чтобы Кузьма показывалъ Василью. Но Василья нечего было учить; онъ всѣ дѣла зналъ хорошо и обдѣлывалъ нисколько не хуже дяди.

Сначала крестьяне съ надеждой смотрѣли на новаго писаря, потому-что онъ раньше ругалъ голову и своего дядю; говорилъ, что если его сдѣлаютъ писаремъ, то онъ всѣ дѣла крестьянскія приведетъ въ порядокъ, и за честность крестьяне

ему будутъ много благодарны. Но крестьяне ошиблись. Несмотря на то, что онъ ходилъ къ крестьянамъ въ гости, терся въ кабакѣ, шутилъ съ ними и ругалъ начальство дураками, крестьяне назвали его плутомъ. Онъ ни на кого не кричалъ, говорилъ съ усмѣшками, ему не давали денегъ, онъ говорилъ: нельзя; онъ этого сдѣлать не можетъ. А поди жалуйся на него, когда голова не разговариваетъ съ мужиками и гонитъ ихъ прочь. Но все-таки онъ нравился крестьянамъ, которые и сами не знали, почему онъ нравится имъ? А дѣло было просто. Если крестьяне просили подождать недоимки, онъ бралъ съ нихъ подарки и обдѣлывалъ дѣла такъ, что этотъ годъ недоимки не просили, а на будущій недоимокъ числилось за крестьянами вдвое больше, чѣмъ слѣдовало. Если крестьяне просили билетъ на жительство въ разныхъ городахъ, онъ даромъ не давалъ, то же самое и со взносомъ податей. Но зато за рекрутчину ему много пришлось получить проклятій. Кромѣ этого онъ такъ сумѣлъ поставить себя, что ему не только въ волостномъ правленіи былъ почетъ, но и въ рекрутскомъ присутствіи, и въ казначействѣ, и въ палатѣ имуществъ, гдѣ онъ отъ имени волостного правленія задобривалъ кого слѣдуетъ, не гнушались сельскимъ писаремъ Внучкинымъ.

Дѣятельность молодого Внучкина была обширная, но кромѣ этого онъ заключалъ условія съ караванными приказчиками на наймы людей въ судорабочіе. Отъ нихъ онъ вывѣдывалъ всѣ дѣла по судоходству, отъ крестьянъ плутни приказчиковъ и заключалъ выгодныя для себя условія съ приказчиками, получивши за каждаго крестьянина по рублю денегъ.

Мало-по-малу Внучкинъ сдѣлался важнымъ человѣкомъ волости. Крестьяне поняли, каковъ онъ, и ни одинъ изъ нихъ никого такъ не боялся, какъ Внучкина, потому-что Внучкинъ всѣ дѣла обдѣлывалъ. Если крестьянинъ жаловался губернатору на волостное правленіе, отъ волостного правленія, черезъ разныя присутственныя мѣста, требовали донесенія, а донесенія сочинялъ Внучкинъ. И не только крестьяне боялись его, но не смѣли съ нимъ ссориться даже старшина, старосты и т. п. лица, потому-что Внучкинъ такъ ихъ запуталъ по одному рекрутскому дѣлу, что они не смѣли и пикнуть. Съ нимъ даже ничего не могъ сдѣлать окружной начальникъ, гроза волости. Этотъ начальникъ всегда получалъ исправно подарки, а получивши по какому-нибудь дѣлу крупный подарокъ, онъ держалъ сторону волостного правленія. И какъ онъ ни старался подкопаться подъ писаря, ничего не могъ съ нимъ сдѣлать. Внучкинъ всегда былъ трезвъ, всегда встрѣчалъ и провожалъ начальника съ почетомъ; канцелярская формальность всегда была соблюдена, какъ слѣдуетъ.

Пріѣзжаетъ окружный въ село, его встрѣчаетъ Внучкинъ безъ шапки.

— А! погоди же ты, подлецъ, упеку я тебя въ Сибирь. Въ правленіе.

— Ладно, думаетъ Внучкинъ, кто кого упекетъ, и идетъ въ правленіе!

— Жеребьевый списокъ!—кричитъ окружный.

Внучкинъ подаетъ ему тетрадь. Окружный перелистываетъ.

— Почему не Ѳома Панютинъ попалъ?

— Не могу знать: такъ жеребій вышелъ.

— Я тебѣ покажу жеребій, свинья! Не Илья Степановъ попалъ, а Ѳома Панютинъ.

— На другой страницѣ объясненіе есть.

— Я тебѣ покажу объясненіе... Перевертываетъ окружный листъ, тамъ лежитъ кредитный билетъ.

— Свинья!—скажетъ окружный и улыбнется.

— А какъ ты думаешь, Внучкинъ: можно пощупать старшину?

— Можно-съ.

— Нуко-какъ?

— По постройкѣ плотинъ-съ.

Или вдругъ получаетъ Внучкинъ бумагу, которая требуетъ объясненія по чему-нибудь. Идетъ Внучкинъ къ старшинѣ, говоритъ: такъ и такъ, лѣсничій донесъ, что крестьяне много лѣсу рубятъ, а ты сколько деревъ-то сплавилъ? Поди, не одну сотню зашибъ?

— Да вѣдь самъ лѣсничій рубитъ тоже.

— А вотъ теперь крестьяне на тебя жалуются, и потянутъ насъ съ тобой.

Дастъ старшина сто рублей писарю и пошлетъ его къ окружному да лѣсничему, тѣ и возьмутъ деньги, да еще чаемъ напоятъ Внучкина.

Даже самъ управляющій палаты имуществъ отзывался, что лучше Петровской волости во всей губерніи ни одной нѣтъ, и выхлопоталъ Внучкину медаль за усердіе.

И до сихъ бы поръ Внучкинъ царствовалъ въ селѣ, да чортъ сунулъ въ село ревизора изъ Питера. Ревизоръ, какъ ревизоръ, былъ человѣкъ строгій, казался соблюдающимъ интересы крестьянъ. Еще до пріѣзда его въ село было извѣстно, что управляющій палаты подалъ въ отставку, а окружный преданъ суду. По ревизіи ревизоръ ничего не нашелъ худого въ волости, да крестьяне попросили ревизора смѣнить начальство.

— Почему смѣнить? у нихъ все исправно, сказалъ ревизоръ.

— Они, ваше п-во, всегда всѣмъ недовольны, сказалъ Внучкинъ.

Все бы ладно, да чортъ подсунулъ Внучкина предложить ревизору пакетъ.

— Это что?—закричалъ ревизоръ.

— Благодарность отъ крестьянъ.

— А! сказалъ ревизоръ, пакета не взялъ и уѣхалъ, а черезъ мѣсяцъ изъ палаты имуществъ получилась бумага: назначить изъ волости новаго писаря.

Однако новаго писаря не избрали. Внучкинъ подписывался: Власовъ исправлялъ свое дѣло до тѣхъ поръ, пока не донесъ на Внучкина становой. Затребовали отъ волости объясненіе, потомъ потребовали въ палату Внучкина; Внучкинъ объяснилъ, что онъ уже годъ какъ не состоитъ на должности и подалъ рапортъ Петровскаго сельскаго общества объ избраніи его сельскимъ засѣдателемъ.

Дѣло, конечно, не обошлось безъ денегъ, и Внуч-

кина выбрали сельскимъ засѣдателемъ, но въ этомъ званіи онъ пробылъ только мѣсяцъ. Позвали его въ земскій судъ, онъ вошелъ въ присутствіе.

— Что тебѣ надо?

— Я сельскій засѣдатель. Меня звали.

— Можешь въ прихожей сидѣть.

— По закону я долженъ въ присутствіи быть.

— Ахъ, ты негодяй! Онъ еще говоритъ! Пошелъ вонъ, и жди когда дадутъ тебѣ подписать бумагу.

— А не пойду.

И Внучкина скоро уволили съ тѣмъ, чтобы впредь ни на какія должности не опредѣлять.

Думалъ-думалъ Внучкинъ: чѣмъ бы ему заняться? На должности не опредѣляютъ; торговлей заняться—невыгодно да и какъ-то стыдно послѣ такой должности торговать; еще будутъ говорить, что я на воровскія деньги торгую. А капиталу у него накоплено немного.

Въ мартѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ къ нему приказчикъ изъ какого-то завода за наймомъ бурлаковъ. Разговорились о томъ, что нынѣ трудно жить честно; каждый разсказывалъ разныя продѣлки начальства.

— Ну, я бы на твоемъ мѣстѣ не усидѣлъ. Поѣхалъ бы я въ Нагорскъ, тамъ нынѣ пароходы строятся, говорилъ приказчикъ.

— Въ самомъ дѣлѣ!—И Внучкинъ, оставивъ жену и двухъ дѣтей, поѣхалъ въ Нагорскъ.

Въ Нагорскѣ Внучкинъ прожилъ два мѣсяца. Много ему въ это время пришлось обтоптать половъ въ прихожихъ пароходо-владѣльцевъ, управляющихъ и разныхъ конторщиковъ, гдѣ на него даже и глядѣть не хотѣли. Задоръ его беретъ, а ѣхать назадъ ему не хочется.

Жилъ онъ на квартирѣ у одного мѣщанина-подрядчика; тамъ же жили двое писцовъ одной пароходной конторы. Оба они носили сюртуки, брили бороды. Внучкинъ рѣшилъ, что надо познакомиться съ ними, и разъ вечеромъ, напомадивши волосы, расфрантившись, пошелъ къ нимъ попросить книжечки почитать отъ скуки.

— Мое почтеніе,—сказалъ онъ, входя къ нимъ.

— Здравствуйте, что скажете?

— Да я сосѣдъ вашъ; скучно одному-то, вотъ и пошелъ попросить книжки.

— Пріятно познакомиться. А вы гдѣ служите?

— Я еще нигдѣ не служу. Въ Воткинской губерніи былъ волостнымъ писаремъ, да не поладилъ съ старшиной.

— Что такъ?

Внучкинъ разсказалъ цѣлую исторію о кражѣ старшиной казенныхъ денегъ, о сговорѣ его, Внучкина, быть сообщникомъ въ воровствѣ. Онъ такъ хорошо, увлекательно и смѣшно разсказывалъ, что понравился имъ, и они попеременно стали разсказывать ему о разныхъ судьяхъ, предсѣдателяхъ, губернаторахъ. Стали пить чай. За чаемъ они сошлись еще ближе. Пароходные служащіе были крестьяне, тоже служившіе прежде въ волостныхъ правленіяхъ, и теперь каждый изъ нихъ получалъ жалованья по 25 р. въ мѣсяцъ.

— Ну, а занятія у васъ какія? — спросилъ Внучкинъ.

— Занятія пустыя: реестры пишемъ, вѣдомости, накладныя, бумаги переписываемъ.

— Это все пустяки. Я вотъ писаремъ сколько лѣтъ былъ. На что рекрутскій уставъ трудноватъ, да я его какъ «Отче нашъ» знаю: всегда изъ воды сухъ выходилъ.

И съ этихъ поръ или Внучкинъ ходилъ къ пароходно-конторскимъ служащимъ или они, также отъ скуки, захаживали къ нему поиграть въ трынку, а потомъ Внучкинъ познакомился съ конторщикомъ этой конторы и попалъ въ писцы на пятнадцатирублевое жалованье.

Первымъ подвигомъ его въ началѣ службы было то, что онъ, получивъ изъ дома деньги, угостилъ въ гостиницѣ конторщика. Конторщикъ, получавшій жалованья тысячу руб. въ годъ, велъ себя важно и показывалъ видъ, что ему плюнуть такъ въ ту же пору на Внучкина, а когда стали прощаться, то, подавая лѣвую руку, начальнически попросилъ его прійти завтра на квартиру переписать одну бумагу, о которой онъ не долженъ никому говорить. Внучкинъ покраснѣлъ отъ удовольствія.

Прозанимался Внучкинъ въ конторѣ два мѣсяца, и служащіе стали замѣчать, что конторщикъ что-то очень расположенъ къ нему: Внучкинъ приходитъ въ контору раньше всѣхъ, постоянно занимается по вечерамъ, не переписываетъ, а занимается бухгалтеріей и составленіемъ бумагъ; на товарищей смотритъ свысока, подаетъ всѣмъ лѣвую руку. Вотъ и жалованье ему положили тридцать рублей въ мѣсяцъ, старымъ его пріятелямъ жалованье убавили на пять рублей. Товарищи стали поговаривать: Внучкинъ фискалитъ; но Внучкинъ не обращалъ никакого вниманія: исправно ходилъ на службу, дѣлалъ свое дѣло, заставлялъ переписывать бумаги прежнихъ своихъ друзей и посылалъ домой каждый мѣсяцъ по десяти рублей.

Прослужилъ онъ годъ, и Покровскіе жители не узнали бы прежняго писаря Василья Еремеича: онъ ходитъ въ драповомъ пальто, брюкахъ, носитъ рубашки изъ тонкаго полотна, походка у него уже смѣлая, смотритъ онъ задумчиво, волосы зачесываетъ по-городски, въ голосѣ его слышится начальническій тонъ. Онъ играетъ въ карты съ конторщикомъ, смотрителемъ пристани и другими господами, и у него играютъ въ преферансъ.

Товарищи дивятся.

— Счастье, подумаешь, человѣку! и какъ это онъ втерся скоро къ конторщику? Ужъ мы ли не представлялись казанскими сиротами, а онъ-то, онъ-то подлая душа!..

Конторщикъ былъ, что называется, сосвѣтный плутъ: умѣлъ наживать деньги и раззорялъ пароходовладѣльцевъ, ладя съ другими конторщиками, ему понравилось прилежаніе, твердость, скрытность и ловкость Внучкина. Онъ сперва заставилъ его сосчитать расходъ въ книгѣ. Внучкинъ сосчиталъ скоро, конторщикъ повѣрилъ и поручилъ ему вести кассовыя книги.

Бился, бился Внучкинъ съ книгой, потѣлъ, потѣлъ, двое сутокъ просидѣлъ — чортъ знаетъ, что такое. Пошелъ къ конторщику и говоритъ.

— Николай Ивановичъ, не сходится счетъ. Я двое сутокъ просидѣлъ надъ этой страницей. Напримѣръ, принято сто пудовъ свѣчъ по 10 коп. за пудъ—итого девять рублей.

— Такъ что же?

— Въ накладной значится—принято сто двадцать пудовъ по восьми коп. за пудъ.

— Ахъ да! Тутъ приходъ записанъ въ четырехъ мѣстахъ. Вотъ накладная за № 189 принято столько-то ящиковъ свѣчъ, на тысяча восемьсотъ пудовъ по десяти коп., да вотъ еще № 189 сто двадцать пудовъ по восьми коп. Теперь сочти: по накладной № 189 принято такого-то числа 100 пудовъ свѣчъ по 10 коп. пуд.—9 руб., да вотъ въ другомъ мѣстѣ въ книгѣ значится еще 20 пудовъ по 10 коп.

— А остальныя?

— Эта квитанція въ 120 пудовъ будетъ служить документомъ, а другую мы уничтожимъ.

— Значитъ отправлено-то сколько?

— Тысяча восемьсотъ, а по книгамъ будетъ 120.

— А если будутъ ревизовать?

— Кто будетъ читать книгу-то? Кто наши дроби станетъ считать, кромѣ насъ; а ты молчи. Если увидишь красный карандашъ на квитанціи, тотъ приходъ и вноси, а синій ссади на запасъ въ шкафъ.

И сталъ такъ дѣлать Внучкинъ. Онъ скоро выучился всѣмъ продѣлкамъ конторщика—что, какъ и почему происходитъ и получилъ жалованья пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ за то, что сводилъ хорошо счеты и сбивалъ съ толку разныхъ конторщиковъ. Онъ былъ что-то въ родѣ чиновника особыхъ порученій: разъѣзжалъ на чужихъ пароходахъ отъ пристани до пристани, сбивалъ подрядчиковъ съ толку, ссорилъ конторщиковъ между собою, за картами выслушивалъ разныя мнѣнія, непріятныя для его компаніи. Сперва онъ дѣйствовалъ такъ ловко, что всѣ конторщики удивлялись: какъ это они впросакъ попадаютъ, а потомъ какъ узнали о Внучкинѣ, стали запирать передъ нимъ двери. Но отъ этого ихъ дѣла все-таки шли не лучше и всѣ знали, что съ Z-ской компаніей тягаться трудно, потому что бывали случаи такого рода: главное управленіе пароходства проситъ почетнаго гражданина Бунькова и Ком. выдать ей взаимообразно пять тысячъ рублей подъ залогъ такой-то баржи. Управляющій буньковской компаніи давалъ; черезъ два дня деньги возвращали, баржа оказывалась съ дырой на днѣ и буньковская компанія платила протори и убытки. А баржа была цѣла.

Лѣтомъ Внучкинъ едва успѣвалъ обѣдать и спать, потому-что надо было въ конторѣ работать, исправлять порученія конторщика и управляющаго, которые, видя во Внучкинѣ ловкаго и скрытнаго человѣка, только ему одному и довѣряли секретныя дѣла; надо было идти къ кому-нибудь въ карты играть или къ себѣ пригласить, потому-что если ужъ самъ въ гости ходишь, такъ и къ себѣ надо приглашать, а эти порядки хорошо наблюдались и соблюдаются у всѣхъ пароходчиковъ по праздничнымъ днямъ, и въ будни зимой, когда служащіе въ конторахъ только баклуши бьютъ.—Жилось Внучкину хорошо, онъ даже сдѣлался толще послѣ шестимѣсячной службы. При всемъ этомъ онъ жилъ аккуратно, такъ-что въ первые четыре мѣсяца службы посылалъ своей женѣ деньги, но потомъ пересталъ; дескать, что я за дуракъ: здѣсь расходъ, туда посылай. Пусть сама добываетъ!

У него заведена была маленькая книжка для записки прихода и расхода; туда онъ записывалъ даже гроши, которые подавалъ нищимъ. Когда онъ однажды сличилъ расходъ съ прошлымъ мѣсяцемъ и оказалось, что израсходовано лишнихъ два рубля, то онъ не сталъ покупать булокъ къ чаю и ассигновалъ проигрывать въ карты не болѣе пяти рублей въ мѣсяцъ. Впрочемъ, онъ почти всегда выигрывалъ. Случалось, часто онъ не обѣдалъ, а пилъ только чай; вечеромъ рѣдко-рѣдко ужиналъ. Очень любилъ вымѣнивать старые сапоги на новые и въ свободное время самъ починивалъ сюртукъ или пальто. Въ гостяхъ онъ выпивалъ пять стакановъ чаю, былъ очень разборчивъ, много ѣлъ, что больно не нравилось хозяевамъ, которые подтрунивали надъ нимъ и прозвали его бездонной кадкой и хохотали надъ тѣмъ, что послѣ каждой рюмки вина онъ всегда закусывалъ или колбасой или семгой, хотя бы и пилъ во время обѣда или десерта.

Получилъ онъ письмо отъ жены. Проситъ денегъ, больна.

— Вотъ дура-то набитая! Дѣтей рожать мастерица, а добывать денегъ нѣтъ, думалъ Внучкинъ и написалъ ей такое письмо: ты и думать не смѣй, чтобы я тебѣ послалъ еще денегъ. Здѣсь городъ да еще губернскій, денегъ много выходитъ. На что тебѣ деньги? Посылаю при семъ пять рублей.

Черезъ мѣсяцъ получаетъ опять письмо отъ жены: сдѣлай ты божескую милость, возьми ты меня къ себѣ. Соскучилась я объ тебѣ, голубчикъ.

Внучкинъ опять послалъ женѣ письмо. — Ну, что ты за дура: зачѣмъ тебѣ ко мнѣ ѣхать, да еще съ ребятишками.—Экая невидаль! А ты бы лучше объ домѣ-то старалась, да за пашнями присматривала. Ужо пріѣду домой, задамъ я тебѣ!

Наступила вторая скучная зима. Дѣла въ конторѣ такъ было мало, что служащіе рады не рады, какъ засядутъ играть въ карты, а до этого времени толкуютъ о разныхъ управляющихъ и конторщикахъ, называя ихъ ворами: то же самое и между управляющими и конторщиками. Сплетни идутъ по всему пароходному міру, такъ-что Внучкину уже тошно становится слушать. Надоѣли ему и карты, и гости, да и денегъ стало больше выходить, служащіе играютъ въ долгъ, потому-что каждый изъ нихъ многимъ въ городѣ долженъ; сдѣлалось скучно о домѣ, о женѣ, и онъ захотѣлъ съѣздить туда. Но какъ съѣздить. Своихъ денегъ тратить онъ не хотѣлъ и добился таки того, что его послали за

наймомъ судорабочихъ на родину и денегъ отвалили много.

Хлопотъ по найму рабочихъ было не мало, потому-что нужно было разъѣзжать по деревнямъ, возиться съ крестьянами, сельскими начальствами, а срокъ полагался небольшой, такъ-какъ наступалъ мартъ мѣсяцъ.

Въ передній путь онъ съэкономничалъ отъ прогоновъ сто рублей, потому-что на почтовыхъ лошадяхъ ѣхалъ очень не много, а отъ города къ селу или деревнѣ ѣздилъ даромъ; въ этихъ мѣстахъ были крестьяне, искавшіе дѣла, да и сельское начальство радо было подрядчику, потому вопервыхъ, что оно получало магарычи, а во-вторыхъ, сталкивало въ заработки не платящихъ по бѣдности подати и недоимки. Въ инструкціи, данной ему главной конторой Z-скаго пароходства, велѣно было подряжать крестьянъ на разное жалованье, отъ 6 до 15 руб. въ мѣсяцъ, отобрать отъ нихъ паспорта и прислать въ Нагорскъ, заключить съ крестьянами условія и выдать имъ задатки. А это дѣло было знакомое Внучкину. Въ каждомъ селѣ онъ дѣла обдѣлывалъ скоро, потому-что самъ былъ въ этомъ уѣздѣ писаремъ, и всѣ писаря ему знакомы. Отобралъ онъ отъ крестьянъ паспорта, выдалъ каждому по рублю и послалъ въ Нагорскъ.

— Маловато, поштенный, говорятъ крестьяне.

— Говорите спасибо, что я за васъ подати уплатилъ,—отвѣчаетъ Внучкинъ.

— Такъ теперь намъ сколь слѣдуетъ получать-то?

— А кто нанялся по восьми, тотъ шесть будетъ получать.

— Ужъ лучше бы, ребята, и не подряжаться.

— Теперь ужъ поздно, братцы. Мы васъ не обидимъ,—говоритъ Внучкинъ.

— Это такъ. Житье тамъ сказываютъ—все рѣки—вода, да трудно.

— А лучше на печкѣ лежать?

А Внучкинъ отъ каждаго крестьянина нажилъ по рублю серебромъ,—такимъ образомъ: въ условіяхъ, заключенныхъ съ крестьянами, было сказано, что за нихъ внесены подати и недоимки. Подать дѣйствительно была вся взнесена за полгода, а недоимки по нѣскольку копеекъ. Тутъ, конечно, нажились и писаря и старосты.

Крестьяне этого не знали, потому-что деньги на приходъ писаря обѣщались записать послѣ; имъ выдали только квитанціи въ полученіи денегъ за подати, а условія оставлялись всегда въ главной конторѣ пароходства.

Пріѣхалъ Внучкинъ въ Покровское село. Почти изъ каждаго окна смотрѣли, какъ онъ ѣхалъ; попадавшіеся навстрѣчу ему люди не узнавали его, останавливались, а узнавъ, замѣчали: экъ его расперло, гли, рожа-то!

Жена его расплакалась отъ радости; глядя на нее, и дѣти стали кукситься, но съ удивленіемъ смотрѣли на родителя.

— Ну, чего-ты ревешь, дура! Ставь самоваръ; дѣлай пельмени, топи баню.

— Охъ, голубчикъ, погоди, вѣдь чуть не три года, какъ не видались. И какой это ты, право: и письма, что есть, не хочетъ написать, и денегъ не посылаетъ.

— Гдѣ бы я взялъ ихъ?

— Да вотъ ты, поди, не одну сотню нажилъ, по наймамъ-то, нѣтъ, чтобы женѣ ситцу привезти: у ребятишекъ вонъ всѣ рубашенки обносились... Ужъ я вся объ тебѣ изныла.

— Ну, ну, дѣлай, что говорятъ.

На другой день пришли съ визитами голова, писарь, священникъ, становой. Каждый имѣлъ какую-нибудь цѣль, но Внучкинъ держалъ себя важно, говорилъ нехотя, свысока и вытолкалъ ихъ, сказавъ каждому: извините, я въ баню иду, а завтра ѣду.

Крестьяне и жены ихъ то-и-дѣло приходили къ Внучкину изъ любопытства, посмотрѣть, какъ перемѣнился Внучкинъ. Они теперь забыли всю непріязнь къ Внучкину, потому-что теперешній писарь былъ хуже Внучкина. Они, по простотѣ своей, хотѣли высказать ему свое горе и попросить его, не поможетъ ли онъ имъ чѣмъ-нибудь. Но они ошиблись.

— Здорово, Василій Сидорычъ. Какъ те Богъ милуетъ?—говорили они, входя въ избу Внучкина.

— Здоровъ, здоровъ!.. Что надо?

— Да я такъ... Ишь ты какой нонѣ сталъ.

— Ну, мнѣ, братцы, некогда съ вами калякать.

— Конечно... Гдѣ ужъ: ты и прежде... А скоро опять будешь?

— Не знаю.

Жена Внучкина замѣтила, что Василій Сидорычъ уже не тотъ. Нѣтъ въ немъ прежнихъ ласкъ, прежней хлопотливости; онъ сухъ, говорить съ ней не хочетъ, важничаетъ, дѣтей не приласкаетъ. На другой день утромъ жена его нарочно принарядилась по случаю его пріѣзда, напекла и нажарила въ печи много. За чаемъ Василій Сидорычъ былъ веселѣе.

— Ну, Евгенья, мнѣ завтра нужно ѣхать...

Жена вздрогнула, заплакала.

— Погости ты, Васенька, голубчикъ...

— Нельзя, я человѣкъ служащій. Здѣсь скучно.

Жена пуще заплакала, а Внучкинъ издѣвался надъ ней.

— Тамъ жить весело, друзей много, а здѣсь не то: все мужики... Завтра чуть свѣтъ ѣду.

День въ селѣ больно длиненъ показался Василью Сидорычу. Къ крестьянамъ ему идти стыдно было, съ писаремъ и прочими знаться не хотѣлось. Пошелъ къ становому, и проиграли въ карты до утра.

Выспался Василій Сидорычъ и сталъ собираться въ дорогу. Сцена была тяжелая: жена плакала, ребята тоже, Василій Сидорычъ, какъ видно, старался скорѣе улизнуть. Во дворѣ стояла пара лошадей, запряженныхъ въ повозку, за воротами стояли крестьяне.

— Ну, Евгенья, прощай. Мнѣ жалко тебя, да что дѣлать. Василій Сидорычъ прослезился и вынулъ изъ-за пазухи бумажникъ, развернулъ его, сталъ считать деньги.

— Ну на вотъ тебѣ пятьдесятъ рублей. Да смотри, не проси денегъ, сказалъ онъ женѣ и положилъ на столъ двѣ двадцатипяти-рублевки. Жена поклонилась ему въ ноги.

— Спасибо, Васенька! мнѣ и денегъ бы не надо, только бы ты дома-то...

Выѣхалъ Василій Сидорычъ за ворота. Крестьяне шапки сняли, поклонились.

— Прощай, Василій Сидорычъ.

— Не увезешь ли грамотку Семену?

— Гдѣ я его тамъ искать-то стану? отправь по почтѣ.

И Василій Сидорычъ уѣхалъ къ становому и на другой день съ нимъ уѣхалъ въ городъ.

Становой былъ очень любезенъ съ нимъ всю дорогу; Внучкинъ напоилъ его въ городѣ до поженія ризъ.

Становой былъ тоже непромахъ.

— Ты, я знаю, плутъ: за тобой еще старые грѣшки есть? Хошь, задержу?—сказалъ онъ.

Внучкинъ, однако, успѣлъ уѣхать по-добру, поздорову.

По пріѣздѣ въ Нагорскъ, Внучкинъ первымъ долгомъ представился конторщику.

— Ну, я думаю, ты нагрѣлъ лапу.

— Съ чего это вы взяли? Да и откуда я поживусь?

— А отъ крестьянъ?

— Сохрани меня Богъ. Я все дѣлалъ по совѣсти. Вотъ вамъ остатки отъ расходовъ—тридцать два рубля двѣнадцать съ половиною копеекъ.

— Какіе остатки? Въ прошлые годы у насъ больше ассигновали, да не доставало еще.

— Ну ужъ я не такой человѣкъ, чтобы чужимъ добромъ пользоваться.

Конторщикъ рѣшительно не понималъ: зачѣмъ Внучкинъ ѣздилъ, когда онъ даже остатки представилъ.

— Да ты возьми ихъ себѣ, мы сведемъ счеты.

— Ну ужъ нѣтъ! Оборони меня Богъ.

Конторщикъ донесъ объ этомъ поступкѣ управляющему; тотъ позвалъ Внучкина къ себѣ.

— Благодарю за честность. Я велѣлъ конторщику выдать вамъ возвращенныя деньги въ награду, а я назначаю васъ смотрителемъ здѣшней пристани: Савиновъ воръ, а вы, какъ видно, честный.

Житье Внучкину на пристани было хорошее: раньше онъ постоянно находился въ виду начальства, долженъ былъ унижаться, слушать насмѣшки товарищей, теперь онъ самъ былъ баринъ, и ему былъ большой почетъ отъ рабочихъ. Онъ занималъ домъ въ нѣсколько комнатъ, имѣлъ въ распоряженіи двѣ лошади, всѣ рабочіе были въ его рукахъ, и онъ могъ дѣлать съ ними, что хотѣлъ.

Здѣсь онъ, съ ранняго утра до ночи, былъ въ хлопотахъ. Зимой на пристань привозили товаръ; въ гавани стояли суда; въ амбарахъ лежали разные снаряды и припасы. Все это охранялось подъ надзоромъ Внучкина. Зимой же и весной починивали баржи, пароходы смолили, строили шитики (большія лодки, похожія на ялики), надо всѣмъ этимъ наблюдалъ Внучкинъ; и всѣ матеріалы: доски, лѣсъ, дрова, пакля, смола и проч. были на его отвѣтственности, и этимъ, съ разрѣшенія конторы, онъ распоряжался. Лѣтомъ же нужно было постоянно что-нибудь выдавать, смотрѣть за рабочими, нанимать и расчитывать ихъ, и все это приходилось дѣлать одному Внучкину, потому-что онъ никому не довѣрялъ. Для ясности представимъ одинъ лѣтній день.

Утро. На большомъ дворѣ, около товаровъ, покрытыхъ циновками, сидятъ, стоятъ и ходятъ человѣкъ сто: тутъ есть мѣщане, крестьяне, солдаты, мастеровые, женщины. Они пришли сюда таскать кладь (или на поденщину). Одни изъ нихъ ѣдятъ ржаной хлѣбъ, булки, другіе курятъ трубки. Недалеко отъ нихъ двѣ торговки продаютъ хлѣбъ и калачи, дѣвочки продаютъ квасъ. Толки разные. Въ разныхъ мѣстахъ идетъ работа: то залѣпляютъ варомъ дранки на опрокинутыхъ шитикахъ, то работаютъ на баржахъ, то додѣлываютъ новую баржу, то вытаскиваютъ якорь изъ воды, то бревна пилятъ. Работа кипитъ, точно всякъ торопится, всякій идущій изъ рабочихъ кажется озабоченнымъ. Стукъ, трескъ, крики—все это сливается въ одно и трудно разобрать какое-нибудь слово.

Но вотъ изъ-за бочекъ вышелъ Внучкинъ въ сѣромъ пальто и съ связкою ключей въ рукѣ. Сидѣвшіе встали, рабочіе поклонились, и одинъ изъ рабочихъ, какъ видно, давно дожидавшійся, подошелъ къ нему.

— Василій Сидорычъ... Сдѣлай такую милость...

— Чего тебѣ?

— Да денегъ бы...

— Приходи въ шабашъ.

Къ Внучкину подходитъ одинъ подрядчикъ.

— Василій Сидорычъ, какъ прикажете: тѣ горбины трогать или нѣтъ, что у мостику?

— Развѣ тѣ всѣ вышли?

— Плоховаты оказались.

— Ну употребить на починку пола... Эй ты! Какъ тебя?

— Чего?—сказалъ шедшій съ доской парень.

— Скажи Петрову, чтобы онъ пришелъ.

— Чую.

— Ну, что! Поскольку вы согласны?—спросилъ Внучкинъ поденщиковъ, важно остановившись около нихъ.

— А ужъ почемъ? по сорока?

— Нѣтъ, по двадцати.

Народъ заговорилъ. Разобрать ничего невозможно.

— Хотите нанимайтесь: мужчины по 30, а бабы по 20 коп., а не хотите, наплевать!

— А вчерась пошто было сорокъ.

— Товару немного.

— Будетъ на недѣлю.

Подошелъ староста. Поденщики согласились. Староста сосчиталъ ихъ всѣхъ, далъ каждому по жестянкѣ, и переноска клади въ баржи началась.

Оглядѣвъ все, что слѣдовало, сдѣлавъ кое-какія распоряженія, обругавъ рабочихъ за лѣность, выдавъ, что нужно, онъ ушелъ пить чай съ Лиза-

ветой Семеновной, *молодой барыней*, какъ ее звали рабочіе, знавшіе, кто она такая. Въ это время никто къ Внучкину не допускался.

Послѣ чаю онъ ушелъ въ контору, сталъ записывать счеты.

— Какъ бы мнѣ не попасться: написалъ куплено масла на сто рублей, а покупать не хочется... Сойдетъ! купцы и такъ мошенники, а я бѣдный человѣкъ.

Въ прихожей толпятся распорядители работъ или надсмотрщики за разными вещами и мѣстами.

— Василій!—кричитъ Внучкинъ. Въ контору входитъ здоровый мужикъ.

— Чего изволите, Василій Сидорычъ?

— Если про масло спросятъ, скажи; на недѣлѣ купили, да Прошка продалъ, я прогналъ его. За это я тебѣ прибавлю.

— Покорно благодаримъ. А какъ же безъ масла-то?

— Ну какъ-нибудь... Ну, еще что?

— Да дрова, Василій Сидорычъ, разнесло саженей десять. Ночью вонъ какая буря была. У парохода «Иванъ» колесо повредило.

— Ахъ вы подлецы эдакіе! Что же вы смотрѣли, окаянные?

— Да что сдѣлаешь-то: вѣтеръ вонъ какой, раскачало, ничего не сдѣлали. Рабочихъ мало, да и дровъ-то саженъ десять уплыло не больше. Плоты тѣ цѣлы остались.

Внучкинъ пишетъ на бумагѣ: въ бурю сего числа унесло восемнадцать саженъ дровъ, разнесло тридцать деревъ, сорвало крышу на второмъ лабазѣ, сломало колесо на пароходѣ «Иванъ».

Ну, а ты что? спрашиваетъ онъ молодого парня въ оборванномъ зипунѣ.

— Да денегъ бы надо.

— Еге! да ты, братъ, уже впередъ забралъ. Смотри,—показываетъ онъ парню книжку.

— Нѣтъ, помнится, не забиралъ. За вами еще три рубля восемнадцать копеекъ.

— Да смотри!

— То-то что не вижу грамотѣ-то.

— Ну ужъ такъ и быть: на полтинникъ!.. Смотри, это впередъ.

— Воля ваша, только напрасно обижать изволишь.

— Поговори еще, свинья! Хошь—работай, не хошь—двадцать будетъ на твоемъ мѣстѣ!

У конторы стоятъ двадцать человѣкъ рабочихъ. Одни изъ нихъ еще не получили денегъ, другіе получили, третьи впередъ забрали.

— Книжки!—кричитъ Внучкинъ рабочимъ. Тѣ достаютъ тетрадки, съ засаленными и заваленными въ грязи листами.

— У меня нѣту—потерялъ, сказалъ одинъ.

— Какъ ты еще носъ не потерялъ?—закричалъ Внучкинъ; товарищи рабочаго захохотали. Черезъ нѣсколько времени, сдѣлавъ расчетъ, Внучкинъ пошелъ во дворъ осматривать работы. Стоявшіе у конторы заговорили:

— А что жъ расчетъ?

— Некогда. Я позову. Онъ ушелъ, рабочіе тоже разошлись. Походивъ въ лабазахъ, между тюками, около рабочихъ, сдѣлавъ не одну распекацію, онъ воротился домой и сталъ записывать:

Выдано сего числа:

двадцати рабочимъ поденщины по 40 коп.	8	руб.		коп.
тридцати рабочимъ впередъ за іюнь.	28	»	$37^1/_7$	»
за свозку бревенъ съ рѣки . .	2	»	13	»
за поправку печки въ конторѣ	—	»	50	»

— Что жъ расчетъ?—кричатъ рабочіе у конторы.

— Вотъ каторга-то!—ворчитъ Внучкинъ, потомъ кричитъ служителю:—Иванъ, встань у двери и никого не пускай.

А потомъ начинаетъ описаннымъ выше порядкомъ расчитывать рабочихъ поодному.

Послѣ обѣда онъ опять осмотрѣлъ работы и поколотилъ одного рабочаго за то, что тотъ былъ не у дѣла. Поденщиковъ, таскавшихъ кладь, онъ обѣщалъ разсчитать завтра. Вечеромъ онъ поѣхалъ къ управляющему, которому сообщилъ о бурѣ.

— Хорошо. Послушай, Василій Сидорычъ, нельзя ли кому ту худую баржу спихать, понимаешь?

— Понимаю. Меня уже спрашивали.

— Ты можешь проценты получить.

Въ гавани стояла баржа. Она была еще новая, но управляющему нужны были деньги. По книгамъ конторы значилось, что баржа за № 12 очень ветха. Теперь управляющій рѣшилъ продать ее, а вмѣсто нея поставить другую. Внучкинъ это дѣло обдѣлалъ: баржу промѣняли на худое судно на сломъ, и управляющій былъ въ барышахъ, да и Внучкинъ не въ убыткѣ.

Всѣ считали Внучкина за ловкаго парня и за дѣльца; онъ былъ принятъ у всѣхъ управляющихъ и конторщиковъ. Больше прежняго управляющіе переманивали его къ себѣ на службу, но онъ не шелъ. Онъ хотѣлъ быть управляющимъ, и черезъ три года получилъ назначеніе управлять пароходствомъ Бурой компаніи въ городѣ Остолопѣ, гдѣ еще до сихъ поръ было очень мало пароходовъ, съ жалованьемъ въ три тысячи рублей въ годъ.

Внучкинъ выписалъ въ Остолопъ жену и записался въ купцы третьей гильдіи.

Въ Остолопѣ Внучкинъ съ жаромъ принялся за свое дѣло: арендовалъ мѣсто для пристани на выгодныхъ условіяхъ, накупилъ лѣсу, барокъ и всего, что требовалось, тоже на выгодныхъ условіяхъ, дешево состроилъ конторку на пристани, избушку для рабочихъ, также дешево нанялъ для себя и для служащихъ домъ. За все это онъ получилъ отъ компаніи благодарность. Хозяева компаніи пріѣхали въ Остолопъ и удивились, что работа кипитъ, и Внучкинъ былъ хорошо обласканъ ими, они задали шику аристократіи своими балами и уѣхали въ столицу наслаждаться жизнію.

А Внучкинъ сталъ важнымъ человѣкомъ: ни одного праздника не проходило безъ того, чтобы у него не собирались тузы города и не играли у него въ карты. Ни одного большого праздника не

проходило безъ того, чтобы къ нему знать не ѣздила съ визитами, и онъ къ нимъ, и каждый должностной чиновникъ получалъ отъ него въ Пасху и на Новый годъ подарки, состоящіе въ чаѣ, деньгахъ и даже дровахъ. Внучкинъ былъ въ славѣ; за Внучкинымъ ни одинъ управляющій другихъ компаній не могъ угоняться; всѣ удивлялись его мудрости; бѣдные горожане и тѣ хвалили его за то, что онъ подаетъ на бѣдность, а разъ даже весь городъ долго толковалъ о такой штукѣ:

Приходитъ къ Внучкину пьяный человѣкъ и суетъ ему бумагу. Внучкинъ въ извѣстные часы всѣхъ принималъ.

— Что, батюшка, скажете?

— Священникъ бумагу далъ,—говоритъ тотъ.

Внучкинъ прочиталъ.

— Ну, что же: дочь умерла. Пьяница, бѣдный человѣкъ... Ты бы лучше въ рабочіе шелъ, дружокъ... Василій!—кликнулъ онъ своего конторщика изъ раскольниковъ,—назначь этого молодца рогожи отдирать со льду.

— Я чиновникъ-съ.

— Ну, это чину не убавитъ. Василій, позови рабочихъ.

Какъ ни бился чиновникъ, а рабочіе свели его на пристань и заставили отдирать рогожи, но чиновникъ скоро убѣжалъ съ пристани.

Онъ былъ строгъ, за всѣми наблюдалъ въ будни самъ, требовалъ честности; но при всемъ этомъ былъ и ласковъ, шутилъ. Отъ строгости его хохотали аристократы.

Три года прожилъ Внучкинъ въ Остолопѣ, и объ немъ уже всѣ въ городѣ знали. Всѣ говорили: это славный человѣкъ,—пароходство Бурой компаніи процвѣтаетъ, но знатоки дѣла только качали головой и говорили: посмотримъ, что дальше будетъ; кто кого объегоритъ: Внучкинъ ли компанію или компанія Внучкина. Какъ ни тяжко было рабочимъ терпѣть, т. е. работать много, не дополучать жалованья, но они были поставлены Внучкинымъ и его приказчиками въ такое положеніе, что отходить было невозможно, потому-что они постоянно до осени были въ долгу у Внучкина. Нанимались же они въ судорабочіе потому, что дома жить невозможно было, а при наймѣ имъ обыкновенно покупали водки, и подрядчики говорили имъ, что обижать ихъ не будутъ, хозяинъ у нихъ теперь добрый. Многіе крестьяне шли даже по принужденію сельскихъ начальствъ, грозившихъ имъ солдатчиной, острогомъ за неплату податей и недоимокъ. Городскіе же жители—мѣщане, отставные солдаты нанимались только въ поденщину, и если имъ не додавали денегъ приказчики, они дѣлали свое дѣло: таскали домой совковый чай, воровали дрова, бросали по неосторожности тюки. Но за это они лишались работы, потому-что Внучкинъ нашелъ выгоднѣе платить поденщину рабочимъ арестантской роты.

Вы думаете, читатель, онъ отъ жалованья рабочимъ набилъ карманы? Нѣтъ. Въ послѣднее время онъ предоставилъ это приказчикамъ по необходимости. Онъ, надо сказать правду, хорошо поворовывалъ.

Главный приказчикъ говорилъ ему: Василій Сидорычъ, надо бы лѣсу купить.

— А тотъ гдѣ?

— Вы приказали продать.

— Мнѣ Александръ Антипычъ обѣщался продать восемь барокъ. Онѣ у него бросовыя же. Тамъ онъ своимъ показалъ, что барки на дрова испилены. Ну, я ихъ куплю: очень дешево продаетъ, кстати же онъ и долженъ мнѣ.

— Что же мы съ ними будемъ дѣлать.

— Посмотримъ. А объ лѣсѣ я позабочусь. Вѣдь и дровъ надо.

— Да тысячи двѣ четвериковъ еще есть.

— Гм!..

Черезъ день Внучкинъ пишетъ въ книгѣ: куплена одна тысяча четвериковъ березовыхъ дровъ за столько-то. За сплавъ, за рубку и пилку столько-то заплачено.

— Хорошую я штуку обдѣлалъ,—думаетъ Внучкинъ:—по отчетамъ и по той (форменной) книгѣ значится: весной эти дрова въ количествѣ двухъ тысячъ пятисотъ четвериковъ стояли на берегу. Семенъ говоритъ: ихъ еще двѣ тысячи, значитъ пятьсотъ сгорѣло. Хорошо, а мы покажемъ сгорѣло полторы тысячи—вѣдь у насъ четыре парохода. Правда, на прочихъ пристаняхъ есть дрова, да наплевать... Вотъ я, значитъ, съэкономничалъ и свои дрова продаю. Черезъ недѣлю дрова эти продаются горожанамъ. Намѣсто ихъ приплавляютъ новыя. Эти дрова также Внучкинъ продалъ компаніи за свои... То же самое и съ барками и прочимъ матеріаломъ...

Приказчики объ этомъ знали, но молчали, потому что сами наживились немало. Знали объ этомъ и другія пароходныя конторы, но научиться такой ловкости никакъ не могли, да и не удавалось какъ-то. Хотя же Внучкина и обревизовывали, но по ревизіямъ оказывалось все хорошо, а въ главной конторѣ этой компаніи цѣлый годъ бились надъ книгами Остолоповской пароходной конторы, да чуть голову не потеряли.

— Ну, ужъ и наплели же вы!—говорили ему бухгалтеры въ столицѣ, куда онъ ѣздилъ часто.

— Бейтесь, не бейтесь, а подъ меня не подточитесь. Приходите лучше ко мнѣ.

Такъ и перестали ревизовать Внучкина, понимая хорошо, что лучше получить подарокъ, чѣмъ на одномъ жалованьи жить, да и Внучкинъ такая сила, что съ нимъ ссориться опасно: онъ по всѣмъ компаніямъ разблаговѣститъ, что такой-то первый мошенникъ, и такого человѣка никуда не примутъ.

А тутъ вдругъ такое дѣло вышло, что въ компаніи не стало денегъ. Вотъ и бѣда. Внучкинъ задумался и поѣхалъ въ столицу, наплелъ тамъ множество ужасовъ и ссудилъ компанію деньгами подъ залогъ баржи и парохода... а потомъ и гладитъ отъ удовольствія свое брюшко.

Вдругъ въ пароходномъ мірѣ разнеслась молва: Внучкинъ пароходъ купилъ и отъ Бурой компаніи отказался.

*

Смотрятъ—тащитъ пароходъ внизъ по рѣкѣ двѣ баржи. Чей?—спрашиваютъ.—Внучкина; да онъ еще хочетъ пароходъ строить, ужъ у англичанина Ида чеканятъ, говорятъ...

Пароходъ пробовали. Внучкинъ важно, весело ходилъ по палубѣ. Когда пароходъ остановился у пристани Бурой компаніи, Внучкинъ и говоритъ улыбаясь конторщику сосѣдней пристанской конторы.

— Что, каковъ мой пароходъ?.. Вѣдь въ каждой баржѣ по двадцати тысячъ пудовъ.

Конторщики дивятся и завидуютъ: вотъ вѣдь мы такъ и дома не можемъ завести... Ловкій парнюга.

Дѣла его нѣсколько лѣтъ шли хорошо, несмотря на то, что у него было три парохода. Другіе пароходовладѣльцы и съ семью пароходами банкрутились, а Внучкинъ нѣтъ. Конечно, ему трудновато было заводиться пароходнымъ имуществомъ, но какъ-то вышло такъ, что онъ потратилъ очень немного денегъ, и такъ какъ за всѣмъ слѣдилъ самъ, то значитъ—своя рубашка къ тѣлу ближе. У него не было управляющихъ, а былъ только конторщикъ съ двумя писцами да нѣсколько человѣкъ на пристани. Эти люди не смѣли воровать, потому-что за воровство попадали подъ судъ. Онъ самъ подряжалъ рабочихъ, предоставивъ только одному приказчику выдачу денегъ, самъ подряжалъ крестьянъ на сплавъ лѣса, да и лѣсу-то требовалось немного, самъ рядился съ купцами насчетъ клади, и, такъ какъ онъ бралъ кладь дешевле другихъ, пароходы были хорошіе, то большинство купцовъ и отправляли кладь на его пароходахъ и баржахъ. Капитаны у него были люди знающіе свое дѣло, лоцмана опытные, и поэтому случалось такъ, что пароходъ Внучкина ночью задѣвалъ чужой пароходъ. Оба парохода терпѣли пораженіе, но Внучкинъ всегда выигрывалъ. Случалось, что пароходъ Внучкина шелъ не по своей линіи, отчего чужой пароходъ садился на мель. Но этакія дѣла, впрочемъ, не всегда сходили удачно: въ одинъ годъ у него засѣла на мель баржа съ чаемъ, чай подмокъ, и онъ заплатилъ деньги; его пароходъ набѣжалъ на судно, и тутъ онъ порядочно поплатился.

Послѣ этого несчастія онъ сдѣлался добродѣтельнымъ: каждую субботу бѣдные получали отъ него копеечки; бѣдныхъ даромъ возили на его пароходахъ подъ видомъ того, что они ѣдутъ на богомолье; бѣдныя чиновническія вдовы получали пособія, и Внучкинъ считался за великаго благодѣтеля, а граждане выбрали его даже ратманомъ городского магистрата. Но дѣла стали итти плохо; убытокъ въ 30,000 р. подкузьмилъ его, и дѣла его мало-помалу поправились разными подрядами.

А тутъ и на подрядахъ поймали его. Опять убытокъ большой, пришлось одинъ пароходъ продать. На слѣдующій годъ другой пароходъ въ карты проигралъ.

Внучкинъ продалъ третій пароходъ съ баржами довольно выгодно, записался въ купцы второй гильдіи и поѣхалъ на золотые пріиски, говоря всѣмъ, что онъ поѣхалъ на родину доживать свои дни.

На этомъ я и останавливаю разсказъ до другого раза.

На заработки.

(Сцены).

I.

Май мѣсяцъ. Идетъ дождь. Грязно. У Николаевской желѣзной дороги большое движеніе—ждутъ прибытія поѣзда изъ Москвы.

Поѣздъ пришелъ. Изъ вагоновъ вылѣзаютъ съ узлами, узелками и котомками люди всякихъ званій. Суетню, говоръ, безпорядочность невозможно передать. У платформы столпилось до десяти крестьянъ въ зипунахъ и поддевкахъ коричневаго и сѣраго цвѣта; большинство въ лаптяхъ; лица загорѣлыя. Всѣ они въ какой-то тревогѣ.

— Ну, таперь, Микитка, что?—говоритъ рыжеволосый здоровый крестьянинъ, обращаясь къ молодому крестьянину, у котораго еще недавно стала пробиваться борода.

— Веди въ Питеръ!

— А гдѣ-жъ Василь Яковличъ?

— Анъ и то!.. Дѣ?

Всѣ глядятъ кругомъ. Одного человѣка не находятъ.

— Убѣгъ!! Ахъ ты бяда!

— Ну, не заплутаитси!

— Конечно что... А вотъ какъ робить? Это вотъ...

Подходитъ городовой.

— Пошли!.. Чего тутъ не видали... Я васъ!

— А дайте!—говоритъ Микитка. За нимъ плетутся крестьяне, и если отстаютъ, то стараются пріостановить товарищей возгласами.

Вышли на площадь, остановились, рты разинули.

— Эво!! У!!!

— Страсти!.. Айай!

— Это что-жъ? Али царь живетъ?—спрашиваетъ худощавый крестьянинъ вожатаго.

— Нѣѣ-тъ... Еще не то увидишь!.. Самъ, коли Богъ дастъ, на эдаку махину взлезешь. Гляди: стропила-то, вонъ налѣво... Что ты тутъ думашь? А тутъ, по крайней мѣрѣ, двадцать человѣкъ работаетъ.

— А!.. Чудесно ино!..

— А это что-жъ, церква!

— Это Знаменье. А это, что домъ-то большой, про который я калякалъ, что, молъ, печи переправляли, вотъ такъ домъ! Десять, слышь, тысячъ одного люду въ немъ живетъ. Дивись.

Крестьяне качаютъ головами.

— Спички хароши!..

— Пельсины, лимоны хароши!—кричатъ торгаши.

— Ну нечего, ребя, стоять-то, а идите... Какъ же Василь-то Яковличъ?

— Плевать, коли отсталъ. Это онъ съ худа!

— Истинно съ худа, братцы: въ Питенбургѣ бывалъ, знаетъ... Ишь, стращалъ все, отговаривалъ: не ходите-де, плохо.

— Это онъ взаболь къ другимъ присталъ. Къ ходокамъ присталъ.

Идутъ и глядятъ на дома. Одинъ Микита идетъ, понуривъ голову. Красноволосый крестьянинъ покупаетъ булку, яйцо; другой въ лаптяхъ покупаетъ рыбки. Крестьяне идутъ по мостовой.

— Не отставай!

— Да ты куды скоро: ишь все камни,—продрались лапти-те.

— Микита, куда?

— Скоро дойдемъ.

Немного погодя, остановились противъ отворенныхъ воротъ одноэтажнаго деревяннаго дома, съ питейной лавочкой, на дверяхъ которой нарисованы: рыба, яйца, чашки, ложки, боченокъ, стаканъ съ невѣроятно пѣнящимся пивомъ.

— Ну, дошли. Тутъ постоялый. Смотрите, давайте по двѣ за кватиру.

— Ладно... Отчего не дать.

— Пообѣдать бы?

— Ну, ужъ обѣдать-то поздо—это не дома.

— А я все гляжу: кабаковъ-то что!

— На то здѣсь и столица. Народу-то, гляди, что наѣхамши.

— Ну, а ежели обѣдать будете, за щи больше гривенника серебряннаго не давайте.

— Это сколько же, на деньги?

— На сигнаціи тридцать пять.

— Ишь чортъ! А ты бы другое мѣсто?

— То-то, что это самое подходящее.

Пошелъ Микита во дворъ; крестьяне столпились въ кучку и стали толковать о впечатлѣніяхъ, произведенныхъ на нихъ въ столицѣ. Они были теперь какъ въ омутѣ.

— Теперь я изъ головы вонъ.

— А Василій-то?..

— Нѣтъ, вотъ потеряйся!

— Да тутъ, поди, и конецъ, коли въ одномъ доминѣ столько люду. Поди, конецъ.

— Дальше что?.. Море, говорятъ...

— Ишь ты море!.. А тутъ и конецъ... Ну а вотъ энта кургузка, что съ шарами-те?

Всѣ глядятъ на каланчу.

— Гляди, каланча. Въ Твери такая есть.

— Такая да не такая.

— Халатъ, халатъ! Стара платья!—дразнитъ крестьянъ подошедшій татаринъ съ гнилыми нижегородскими вещами.

Подходитъ къ крестьянамъ Микита.

— Ходимъ.. Мѣста только маловато: извозчики нонѣ живутъ, такъ только по знакомству уговорился.

Входятъ во дворъ.

II.

Дворъ когда-то былъ мощенъ, теперь въ немъ очень грязно. На лѣвой сторонѣ стоятъ три пролетки, запряженныя въ изнуренныя лошади; одинъ ямщикъ, сидя въ пролеткѣ, спитъ. Крылечкомъ вошли въ темную, низкую, грязную, небольшую избу, съ русскою печью, съ оборванными обоями, съ навѣшенными на стѣнахъ кафтанами кучеровъ. Около стѣнъ нары; въ переднемъ углу большой столъ. Въ избѣ грязно, душно, сыро, воняетъ смѣсью махорки и водки. Изъ этой избы есть ходъ въ другое помѣщеніе, заставленный двумя поломанными половинками ширмъ. На одной скамьѣ спитъ извозчикъ.

— Господи благослови!—сказали крестьяне, входя въ избу. Изъ-за ширмъ вышла худощавая, низенькая женщина съ плутовскими глазами, въ ситцевомъ, худенькомъ платьѣ.

— Вотъ тебѣ матка,—все свои.

— Ладно. Много же ты привелъ!

— Ништо! Житья, почтенная, не стало въ своихъ мѣстахъ. За все лупятъ, страсть!

— Что дѣлать-то... Ну, а вы—какъ?

— Это насчетъ фатеры?

— Ну! по пяти такъ ладно.

— Что-ты, что-ты!—загалдѣли крестьяне.

— Эдакъ обидно! А ты, по совѣсти, не тяни: мы люди дальніе, все одно, что въ лѣсу здѣсь заблудимшись.

— Ну, не-то, ладно по двѣ. И то, коли извозчики не станутъ перечить: вѣдь ихъ десять человѣкъ у меня.

— Что имъ перечить: вѣдь твоя выгода-то, уговаривалъ матку Микита.

— Охъ, только тѣмъ и кормлюсь... Вонъ кабатчикъ-то, что постоялый дворъ держитъ, ничего мнѣ не платитъ, а я ему должна и всѣмъ; и тамъ и здѣсь,—бѣда... Кабы бы я молодая была, такъ.

— А какъ бы намъ похлебать чего?

— Подите въ кабакъ.

— И то! Пойдемте, съ дороги-то?

— Денегъ маловато, Микита Иванычъ.

— Ну! Деньги дѣло нажитое.

— А вы, ребятушки, деньги впередъ, потому хозяинъ такъ велитъ; да ужъ и мнѣ за хлопоты да за узелки по копеечкѣ хоть дайте.

— А ты, почтенная, только сохрани все, какъ есть, въ цѣлости; мы ужо тебѣ послѣ возблагодаримъ и по пяти съ рыла, коли ты все это какъ слѣдоваетъ.

Отдали крестьяне деньги, сунули узлы, котомки и узелки, въ которыхъ заключалось все ихъ имущество, пожелали маткѣ добраго здоровья и поплелись въ кабакъ,—харчевня тожь.

Харчевня состоитъ изъ двухъ комнатъ, грязныхъ, ветхихъ, съ прокислымъ воздухомъ и бойкимъ плутомъ хозяиномъ. Въ кабакѣ собственно, гдѣ стоитъ водка и находятся двѣ выручки, одна для водки, другая съ яйцами, рыбой и жаренымъ мясомъ послѣдняго достоинства, стоятъ два стола съ двумя стульями передъ каждымъ; въ другой комнатѣ, съ желѣзною печью и шатающимися половицами, только одинъ столъ и одинъ стулъ.

Хозяинъ харчевни тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло.

А! господа почтенные! Постояльцы?

— Какъ же!

— На заработки?.. Али выпить пришли?

— Надо и выпить.

— Работы нонича страсть сколько въ городѣ: сколько однихъ домовъ переправляютъ. А вы каменщики?

— Вонъ тѣ трое-то каменщики, первые въ свѣтѣ, а вонъ Гришуха да Максимъ по плотничьему больше, а мы на все мастера... А ты поднеси-ка намъ.

— По полуштофчику?

— Куды тѣ! Жирно... Дай по осмухѣ.

— Маловато же. Вотъ и видно, въ деревнѣ все жили, и водки пить не научились.

Всѣ подходятъ къ выручкѣ.

— Водка первый сортъ, потому съ самаго перваго завода бочками покупаю... А работы, сказываютъ, нонича, просто народу не хватаетъ, даже солдатъ выписываютъ изъ городовъ, потому крестьянъ тоже отрывать отъ своихъ дѣловъ негодится,—напѣвалъ хозяинъ.

— Это вѣрно!

Выпиваютъ по стаканчику.

— А водка у тѣ, сватъ, плоховата!

— Что ты! Вотъ и видно деревня. Да ты погоди-ко маленько, какъ те разберетъ. Спасибо скажешь. Самая лучшая: шесть коп. стоитъ.

— Что ты? А у насъ по четыре...

— Сравнилъ козу съ волкомъ. Щей не хотители,—съ дороги не мѣшаетъ.

— Вали. А у те почемъ?

— Ужъ не спрашивай! Спрашивай, когда наѣшься.

Принесли двѣ скамейки; крестьяне усѣлись за два стола. Они отъ водки сдѣлались развязнѣе; стали острить другъ надъ другомъ. Выпили еще по стаканчику, выложили еще по одной лишней копейкѣ, одни купили корюшки, другіе яичекъ, всѣ взяли по фунту говядины.

Явились щи—какой-то тепленькій бульонъ, прокислый.

— Анъ это что?

— Шти.

— Ври—брага.

— Во! Хозяинъ, энто шти?

— А не то что. Это вы съ дороги, потому стрясло васъ знатно,—сказалъ хозяинъ.

— Что и говорить... Это онъ вѣрно говоритъ.

Входитъ извозчикъ, достаетъ кошель съ деньгами.

— Продрогъ, пусто бы имъ... Всего-то полтину вывезъ.

— Тихо. Косушку?—говоритъ хозяинъ.

— Чайкомъ попоишь?

— Саша, принеси,—говоритъ хозяинъ мальчику.

Извозчикъ беретъ стаканъ, косушку и мальчикъ уходитъ въ другую комнату.

— А ты гдѣ живешь-то?—спрашиваетъ извозчика Микита.

— Гдѣ? обнаковенно гдѣ люди живутъ...

— Да ты не вороти рожу-то. Неважность еще ѣздить... Чать, не своя лошадь-то?

Извозчикъ выпиваетъ стаканъ водки. Немного погодя къ нему подсѣдаютъ двое извозчиковъ.

— А вы скоряе. Здѣсь народъ постоянно ходитъ,—говоритъ крестьянамъ хозяинъ.

— Ну, ужъ времена! Осподи!—говоритъ одинъ изъ извозчиковъ.

— Вотъ таперь и заводись сызнова... Сулилъ городовому,—не знаю, что будетъ.

— Не жалко имъ! Настроили тутъ экихъ мостовыхъ... Виноваты мы что ли... Вонъ Степкинъ хозяинъ тоже отдѣлался.

Крестьяне между тѣмъ еще выпили по стаканчику, начали было пѣть пѣсни, да хозяинъ не дозволилъ. Стали выходить. На панели стоятъ трое крестьянъ.

— Аль съ работы?

— Съ работы?! Экъ! Цѣлую недѣлю шлялся—не бярутъ. Вовсюду напихано—страсть!

— Вре! Вонъ въ кабакѣ хозяинъ сказывалъ, работы столько что...

— Вретъ онъ, чтобъ ему лопнуть. Одново раза мы къ нему эдакъ тоже пришли, насказалъ что и какъ тутъ расхорошо... Анъ обманывать ловокъ.

— Такъ вы куда?

— Да куда?.. Деньги почесь всѣ сдержали. Ну и Питеръ, чтобъ яму пусто было!

— Пошли, пошли, что встали?—крикнулъ на крестьянъ городовой. Крестьяне разошлись...

Въ постоялой избѣ, лежа на скамьѣ, наигрывалъ на гармоникѣ извозчикъ; другой извозчикъ, сидя, курилъ махорку изъ коротенькаго чубука.

— Вы что?—крикнулъ на крестьянъ курившій извозчикъ.

— Да ночевать бы.

— Ночевать. Тутъ наша фатера... Вы обочлись.

— Толкуй: вонъ узлы даве оставили.

— Не пущу.

— Куда васъ чертъ несетъ, свиньи мокрохвостыя, али у васъ стыда нѣтъ! Самимъ тѣсно!—сказалъ другой извозчикъ.

— Ты говори съ хозяйкой.

Долго ругались извозчики съ крестьянами, кухарка (матка) кричала на извозчиковъ, называя ихъ сволочами и другими неприличными именами; пришелъ самъ хозяинъ и покончилъ дѣло тѣмъ, что крестьяне принуждены были выйти.

Отъ денегъ кухарка отперлась.

Вышли на улицу. Головы болятъ, хочется спать; вечеръ.

— Такъ какъ?

— А ловко по три отдали—тридцать, за водку что, за щи слупилъ, почесь, по четвертаку.

— А чтобъ ему сдохнуть!

Долго бродили наши крестьяне и едва-едва нашли себѣ квартиру, заплативъ по пяти коп. съ человѣка.

Квартира эта вотъ какая: въ деревянномъ одноэтажномъ съ мезониномъ на улицу домѣ, во дворѣ двухъэтажномъ, на самомъ заду, во второмъ этажѣ, есть чердакъ, съ свѣтящейся въ тридцати мѣстахъ крышей, съ слуховымъ окномъ, загроможденный зимними рамами, корытами, поломанными столами, стульями, желѣзными кроватями безъ досокъ, до-

ставшимися, какъ надо полагать, за долги отъ бѣдныхъ жильцовъ. Въ этомъ чердакѣ половицъ нѣтъ, а вмѣсто нихъ земля, да и то мокрая,—отъ этого въ сухую погоду здѣсь тма-тмущая блохъ. Въ этомъ чердакѣ, на ряду съ бѣдными крестьянами, обитаютъ постоянно невзыскательные голуби и платятъ за это тѣмъ, что одна чиновница употребляетъ ихъ въ пищу своимъ постояльцамъ. Крестьяне ночевали. Утромъ на другой день пошли выпить въ кабакъ, а оттуда Никита повелъ ихъ искать работы.

Никита Ивановъ, какъ онъ значится въ паспортѣ, въ Питерѣ работалъ шесть лѣтъ только лѣтами, а на зиму уходилъ домой, гдѣ у него, какъ водится, было свое семейство. Въ Петербургѣ онъ имѣлъ много знакомыхъ, зналъ, куда нужно сунуться, умѣлъ работать по-питерски и поэтому привозилъ домой столько денегъ, что могъ заплатить оброкъ на душу и покрыть нѣкоторую часть недоимокъ, накопляющихся съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе. Въ деревнѣ онъ отдыхалъ, кутилъ по-питерски, проживая добытыя его семействомъ тяжелымъ трудомъ деньги. Крестьяне называли его избаловавшимся, жена видѣла въ немъ уже другого человѣка, но не высказывала ему своей непріязни. А такъ какъ работы на городъ и въ фабрикахъ около городовъ той губерніи, откуда былъ онъ, такъ незначительны, платятъ за нихъ такъ мало, что съ каждымъ мѣсяцемъ крестьяне становятся бѣднѣе и не знаютъ за что взяться, Никита же Ивановъ, единственный по деревнѣ петербургскій выходецъ, привозитъ деньги, щеголяетъ, то девять крестьянъ и рѣшились попытать, подобно Никитѣ Иванову, счастья въ Питерѣ. И какъ онъ ни разговаривалъ ихъ, что работы нынѣ въ столицѣ мало, потому-что рабочаго народу много, но они настояли таки на своемъ: поплелись за нимъ въ той надеждѣ, что съ нимъ имъ легче будетъ пріискать работы съ хорошей платою. Никита Ивановъ думалъ только о себѣ, и думать было отчего: рабочіе нынѣ большею частію постоянные; поэтому онъ рѣшилъ не уѣзжать изъ Петербурга на зиму въ деревню, гдѣ ему тяжело, невесело.

Подошли къ одному каменному дому, уже достроивающемуся, вошли во дворъ.

— А! Микита Ивановъ! — встрѣтилъ Никиту плотникъ.

— Здорово. Есть работа?

— Тебѣ али имъ?

— Ну, хоть мнѣ?

— И!.. Сегодня пятерыхъ расчитали: нечего дѣлать, а вонъ разѣ къ Якову Безпалову сходишь; подрядчикъ—знаешь?

— Знаю.

— Братцы, вы подите на Сѣнную, а я тѣмъ временемъ охлопочу.

— Да мы всѣ.

— Всѣмъ нельзя. Ужъ коли вы меня избрали, меня и слушайте... Я вѣдь съ васъ ничего не беру.

— Ладно.

Никита Ивановъ ушелъ, ушли и остальные крестьяне на Сѣнную и остановились у церкви.

Тамъ стояли и бродили въ разныхъ мѣстахъ кучки крестьянъ.

— Вы что?

— Да на заработки пришли.

— Впервые?

— Работы нѣтъ. Шатались, шатались,—ни!..

— А вонъ нашъ Никита Ивановъ ушолъ хлопотать.

— Самъ-то, можетъ, найдетъ, а вы-то походите... На заводахъ были?

— То-то, что не знаемъ.

Проходили и простояли крестьяне на Сѣнной день, никто ихъ не призываетъ, а Никита Ивановъ не является.

Стали вечеромъ наполняться крестьянами кабаки, харчевни. Говоры не умолкаютъ, и говоры эти: работы нѣтъ, денегъ платятъ такъ мало, что не стоило и пріѣзжать.

— Держаться нужно за мѣсто, ужъ коли кто гдѣ робитъ, и робь, а уѣзжать не надыть.

— А мы-то какъ? Мы впервые?

— Горе!

Закутили съ горя наши крестьяне, запѣли пѣсни, заплясали...

На другой и на третій, и на четвертый, и цѣлую еще недѣлю ходили наши крестьяне вмѣстѣ, работы нѣтъ. Наконецъ, двое попали въ рабочіе убивать мостовыя, трое попали въ каменщики, одинъ поступилъ въ судорабочіе, а остальные трое уже и надежду потеряли. Вотъ сидятъ они въ кабакѣ.

— Нѣтъ ли у те пятака?

— Пропилъ.

— А жрать-то что будешь завтра?

— Жрать! помру.

— Дуракъ—вотъ что! Говорилъ: ничего не будетъ.

— А чтобъ тѣ язвѣло! Вѣдь ты сманилъ?

— Ты!!! Кто тарантилъ: коли ты въ Питеръ, и я, вотъ и вышелъ свинья...

Стали ругаться. Дѣло дошло до драки, и ихъ отправили въ кварталъ, гдѣ они до поры до времени будутъ пользоваться казенной квартирой и хлѣбомъ.

А что будетъ потомъ — одному Господу Богу извѣстно.

Холера.

Современныя сцены.

Въ будни.

На углу ... ской улицы стоитъ каменный, трехъэтажный съ подвалами домъ. Такъ какъ онъ стоитъ на углу и выходитъ на двѣ улицы, то въ немъ двое воротъ, выходящихъ на двѣ улицы. Съ виду онъ имѣетъ желтый видъ и разнообразится окнами, т. е. разными занавѣсками въ окнахъ, разными вывѣсками надъ окнами нижняго этажа и особенно длинною вывѣскою «Гостиница Столица» и разукра-

шенными разными заманчивыми картинками на половинкахъ дверей. Вывѣски, кромѣ гостиницы, гласятъ, что въ домѣ живутъ: портной, сапожникъ, часовой мастеръ, колбасная, есть двѣ овощныя, два кабачка въ подвалахъ и одинъ булочникъ. Если поглядѣть на этотъ домъ съ другой стороны улицы, то домъ ничѣмъ не отличается отъ другихъ домовъ: въ лавкахъ, въ окнахъ виднѣются различныя вещи, у часового мастера часы, въ гостиницѣ бѣгаютъ служителя съ полотенцами и щетками, а въ черной половинѣ пьютъ чай какіе-то люди. Домъ какъ домъ, приклеившійся къ другимъ домамъ, такъ что можно новичку въ Питерѣ и пройти, не замѣтивъ его.

Но такъ какъ теперь десятый часъ утра, то можно сказать, что въ этомъ домѣ, какъ и въ другихъ, жизнь уже давно началась: въ овощныхъ лавкахъ, въ кабакахъ въ отворенныя двери то-и-дѣло снуютъ люди: въ первыя—женщины, бѣдно одѣтыя, въ послѣднія—мужчины, бѣдно одѣтые; двери въ гостиницу отпираются тоже часто. Одно только странно, если припомнить прошлое время, ну хоть май мѣсяцъ нынѣшняго года: въ кабакахъ ни стукнетъ, ни крякнетъ; нѣтъ пляски, пѣсенъ, а въ самомъ домѣ всѣ окна заперты, даже много оконъ совсѣмъ закрыто занавѣсками. Мало этого, не только въ другихъ мѣстахъ, даже въ гостиницѣ народъ сидитъ поодаль. И этого мало—изъ лавокъ идутъ торопливо, озираясь; по улицѣ идутъ тоже скоро, съ какою-то боязнью, точно хотятъ сказать: Господи, спаси помилуй!..

Даже около воротъ, не только этого, но и другихъ домовъ, не толкается народъ, какъ прежде. А вонъ только дворникъ подчищаетъ метлой соръ у воротъ и, нехотя, что-то отвѣчаетъ городовому.

Но вотъ выходитъ изъ воротъ женщина съ узелкомъ.

— Куда тѣ?—спрашиваетъ ее дворникъ и загораживаетъ ей дорогу метлой.

— Извѣстно въ баню.

— Дура! холера!

— Что мнѣ холера!.. Самъ ты холера, чумазой чортъ!

— Въ бани ходить не велѣно, баба, потому значитъ вода.—Продолжаетъ дворникъ тономъ ученаго.

— Ты разсказывай, а мнѣ тутъ съ вами тарантить есть время-то? и баба идетъ въ баню. Но немного погодя, ворочается.

— Ну что, воротилась?—спрашиваетъ ее дворникъ.

— Отстань!... Мыло забыла.

Входитъ она въ овощную лавку. Хозяинъ съ подручнымъ отпускаютъ двумъ кухаркамъ по книжкамъ.

— Куда ты, Марья Алексѣевна?—спрашиваетъ вошедшую женщину подручный.

— Да вотъ, Николай Степанычъ, пошла я въ маскерадъ, а дворникъ стращаетъ.

— Что ты??

— Холера, говоритъ, ужь по банямъ ходитъ.

Женщина ушла, а одна изъ кухарокъ, которая поположе, въ красномъ полушалкѣ, стала продолжать прерванную рѣчь...

— Вотъ теперь какое у нея житье: жильцамъ говядины э сколько (показываетъ мизинцемъ), бульону пригоршинку; а котлетовъ съ чайную ложечку... Провалиться! (крестится)... Я имъ, говоритъ, уваженье хочу сдѣлать, потому холера... Теперь молодой жилецъ, что еще третьеводни къ вамъ за гильзами ходилъ, славный такой... такъ онъ и спрашиваетъ это хозяйку: за что ему убыль такая въ пищахъ вышла... Да и говоритъ: я вѣдь-де не кошка!.. Ахъ, говоритъ, хозяйка (качаетъ головой), и рада бы я вамъ, голубчикъ, сослужить, да бумага такая у меня есь. Холера теперь. А какъ да вы, спаси Богъ, захвораете? Кто Богу отвѣтъ дастъ? Да такъ пошла костить его, онъ и присмирѣлъ... Ну что бы ты думалъ: парня холера сватила...

— Что ты?!

Оба лавочника и другая кухарка рты разинули.

— Ей-Богу! провалиться на семъ мѣстѣ... Чаю не захотѣлъ пить—холера! За дохтуромъ послали. Хозяйка хочетъ полицію призывать: это, говоритъ, лавочникъ капусту дрянную пустилъ.

— Что она вретъ-то!.. Я хоть цѣлую кадку раздамъ даромъ, если моя капуста въ заразѣ. Капуста не свинина, да и въ свининѣ моей сами доктора нашли самое первое достоинство. Она пусть и не беретъ не-то, отъ одной ея не обѣдняю.

— Ну ужъ не знаю.

Въ лавку вошелъ чей-то лакей, кухарки ушли.

Женщина подошла къ воротамъ. На стѣнахъ, по бокамъ воротъ, прибиты бумажки, извѣщающія проходящихъ о пустыхъ комнатахъ, и въ рамкѣ большое объявленіе: предосторожности на случай холеры.

Женщина перекрестилась, вздохнула и пошла во дворъ. Дворъ узкій, грязный, но замѣтно, что политъ сегодня утромъ ждановской жидкостью. Но все-таки отъ стѣнъ несется зловоніе. На трехъ крылечкахъ вывѣски: направо сапожника и красильщика, налѣво портного, внизу, еще лѣвѣе, почти въ самомъ углу, противъ чердака, изъ котораго вышелъ дворникъ съ дровами, живетъ лудильщикъ.

У оконъ сидятъ, налѣво во второмъ, направо во второмъ и третьемъ этажѣ, рабочіе въ синихъ, почернѣлыхъ отъ времени рубахахъ, въ фартукахъ. Окна отворены. Кое-кто насвистываетъ, кое-кто напѣваетъ вполголоса.

Но въ сравненіи съ прежними днями и здѣсь какъ-то мрачно, невесело. Такъ и показывается прямо, что бѣднымъ людямъ тяжело отчего-то. Прежде рабочіе, по крайней мѣрѣ, кричали, орали, звонко перекликивались съ кухарками и горничными, а теперь вонъ на кухарку, вышедшую съ юбкой во дворъ, и прошедшую въ другое крыльцо горничную никто и вниманія не обратилъ. Или ужъ часъ такой выдался? А во дворѣ не жарко, потому-что погода стоитъ то сырая, то дождливая.

Вотъ вошелъ во дворъ фельдшеръ.

— Лѣкарь!—крикнули въ двухъ окнахъ.

Фельдшеръ вошелъ въ лѣвое крыльцо. И во дворѣ настала гробовая тишина, изрѣдка прерываемая трескомъ отъ мостовыхъ.

. . . . . .

Старшій дворникъ Степанъ Никитичъ, увидавшій изъ дворницкой фельдшера, надѣвъ на себя поверхъ рубашки жилетку и схвативъ какую-то книжку съ окна, побѣжалъ на дворъ, держа книжку подъ лѣвой мышкой.

— Марья Васильевна, съ 18 №, воды требуетъ...—окликнулъ его другой дворникъ, вынося изъ лѣваго подъѣзда ведра съ помоями.

— Ну!.. Да смотри, выливай акуратно: шнырятъ теперь вездѣ... А дѣ лѣкарь?

— Къ портному, въ восьмой.

Старшій дворникъ, кряхтя отъ полноты, поплелся по лѣстницѣ. Отворилъ онъ 8 № и вошелъ. Сначала, какъ водится, кухня. Изъ кухни проходныя комнаты съ большими столами, за которыми работаютъ портные. Налѣво ширмочки: тамъ комнаты собственно для подмастерьевъ, только двѣ хозяйскихъ комнаты не имѣютъ ширмъ: онѣ просторны, чисты, свѣтлы, а въ этихъ душно, пахнетъ махоркой.

Фельдшеръ смотрѣлъ языкъ одного подмастерья; дворникъ смиренно стоялъ у дверей въ первой комнатѣ; подмастерья глядѣли на фельдшера то съ испугомъ, то съ любопытствомъ. Хозяинъ въ сюртукѣ стоялъ поодаль фельдшера; въ двери сосѣдней комнаты выглядывала молодая женщина въ ситцевомъ платьѣ; изъ кухни изъ-за плечъ дворника глядѣла кухарка.

— Языкъ хоть и бѣловатъ, но это пройдетъ. Напизъ сколько разъ ходилъ?—спрашивалъ фельдшеръ.

— А не ходилъ...

— Нѣтъ, это онъ вретъ!.. Я самъ вѣдь тебя, Николка, засталъ,—проговорилъ, хохоча, другой подмастерье.

— Ты молчи, не тебя спрашиваютъ сюда.—Крикнулъ хозяинъ.

— Значитъ ты здоровъ?

— Вотъ тѣ Христосъ!—сказалъ подмастерье.

— Да они у меня никогда не хворали.

— Значитъ, всѣ здоровы?

— Всѣ.—Отвѣчалъ хозяинъ. Чайку не хотите ли?

— Чашечку, пожалуй.

— А вонъ съ Яшкой холера: ужъ его драло, драло!..—проговорилъ, смѣясь, осмотрѣнный.

— Ты молчи... Съ этой холерой просто бѣда: убытку одного почесть не сочтешь,—говорилъ хозяинъ фельдшеру.

— Это такъ!.. Смучился я совсѣмъ.

— Ну!.. Водочки выпьемъ.

Немного погодя, фельдшеръ толковалъ съ старшимъ дворникомъ на площадкѣ лѣстницы.

— Такъ всѣ здоровы?

— Всѣ, окромя чиновника.

— Только смотри вѣрнѣе: теперь бѣда!

— Что и говорить, страсть! Измаялся весь!

Дворникъ повелъ фельдшера въ комнату чиновника, о которомъ говорила лавочникамъ кухарка. Но чиновника уже не было дома: онъ ушелъ на службу, какъ сказала хозяйка. Въ самомъ же дѣлѣ, чиновникъ былъ дома и уговорилъ хозяйку не сказывать его дома, потому-что у него болитъ голова только съ похмѣлья. Хозяйка, не желая связываться, была рада этому и даже принесла ему косушку водки по уходѣ фельдшера.

По уходѣ фельдшера во дворъ вошелъ городовой, поглядѣлъ на дворъ, на стѣны, сказалъ старшему дворнику: чище, чище чтобъ все было; надзиратель скоро самъ будетъ!!—И ушелъ.

Пріѣхалъ докторъ, позвонилъ. Вышелъ дворникъ.

— А гдѣ здѣсь больные?

— Никакихъ-съ не имѣется, вашескородіе,—отвѣчалъ съ испугомъ дворникъ.

— А у васъ бываетъ очередной докторъ?

— Какъ же-съ ежедневно.

— Однако здѣсь живетъ генеральша М.?

— Здѣсь-съ.

И дворникъ побѣжалъ указывать подъѣздъ съ другой улицы.

Черезъ часъ по всему дому распространилось, что въ домѣ генеральша захворала холерой.

— Эво куды пошла! Гляди, доберется и до лавокъ!—смѣялись рабочіе.

Къ вечеру рабочіе мужчины и женщины вымылись въ банѣ; а вечеромъ кабачки этого дома были полны. Разговоры шли о холерѣ. На лѣвой половинѣ говорили:

— И взаправду холера въ Питерѣ?

— Дурень: кабы не было, стали бы разѣ столько хлопотъ объ нашемъ братѣ заводить.

— А я читалъ: огурцовъ нельзя исть, а водку передъ обѣдомъ можно.

— Ей давай-ко сюды осьмуху...

— Огурцы можно въ препорцію. Право! Я завсягды по шести огурцовъ съѣдаю, да не хвораюже.—Говорилъ кабатчикъ.

— Слышите?.. Вали огурцовъ.

— Что жъ, братцы, водочки?—говоритъ гостямъ кабатчикъ.

— Ладно... Коли попереску дашь, и то ладно.

— А водочки-перцовочки?

Всѣ толкуютъ о хозяевахъ. Молодой маляръ наигрываетъ на гармоникѣ:

Ахъ желѣзная дорожка! шириною два аршинъ!
По ней бѣгаетъ машинъ—настоящій соловей!
Ни качаетъ, ни трясетъ, словомъ вихоремъ несетъ!
Сама скачетъ, сама пляшетъ,—сама пѣсенки поетъ!..
Знай нашихъ... Елеха воха?

Входитъ городовой.

— По домамъ!!—говоритъ онъ.

Черезъ четверть часа кабаки запираются, за ними запираются ворота. Воздухъ дѣлается чище, свѣжѣе; въ домахъ, кое-гдѣ, отворены окна; во многихъ домахъ свѣтятся огоньки.

Воскресенье.

Утро.

У воротъ того же дома стоятъ рабочіе. Кто въ рубахахъ, кто въ зипунахъ, кто въ поддевкахъ.

Молодой парень въ красной ситцевой рубахѣ *(обращаясь налѣво къ четыремъ подмастерьямъ)*. Надо бы Илюху-то провѣдать?.

Голоса. Надо! надо! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ!

Мужчина въ поддевкѣ. Слава Христу! Поменѣ, говорятъ, помиратъ.

Мужчина въ халатѣ. Зналъ, не пошелъ бы нонѣ на заработки.

Голосъ въ другой кучкѣ. А я слышалъ: бабъ да приказныхъ больше хворатъ, потому нутро у нихъ иное.

Другой голосъ. Что ни говори, а скверно... Вотъ бы выпить, а кабаки заперты.

Третій голосъ. Ужъ ты не одново раза сидѣлъ въ фарталѣ: какъ въ кабакъ, такъ и выводятъ на дорогу. Это все съ того началось, слышно—что холера. А мнѣ сказывали совсѣмъ кабаки уничтожить хотятъ?

Голоса. Этого не будетъ!

Изъ воротъ выходитъ рабочій въ рубахѣ. Здорово!.. Аль не выпили?

Голоса. То-то, видно, ты выпилъ?

Рабочій *(смѣясь)*. Я? Э, хватились... Гляди *(кажетъ луковицу и закусываетъ)*. Со двора! право. Со двора можно.

Человѣкъ пять уходятъ во дворъ.

Изъ подваловъ, гдѣ кабаки, слышится гулъ.

Изъ воротъ выходитъ молодая прачка. Молодой подмастерье подходитъ къ ней и, кланяясь, говоритъ любезно: съ ангеломъ, Марья Савишна.

Прачка смѣется, подмастерье схватываетъ ее за рукавъ и тоже смѣется.

— По закупки али провѣтриться?

Народъ хохочетъ. Прачка улыбается и убѣгаетъ.

Подмастерье *(толпѣ)*. А славная дѣвка, одно скверно: табаку много куритъ и сахару много жретъ.

Народъ хохочетъ.

Другой подмастерье *(первому)*. Ты того и стоишь.

Третій подмастерье *(хлопая по плечу второго)*. Жениться, братъ, надо, авось дѣла пойдутъ какъ по маслу.

Рабочій. Женишься-наплачешься, коли ѣсть нечего.

У часового мастера.

Мастеръ въ сюртукѣ сидитъ у стола въ магазинѣ, около него, слѣва, стоитъ лудильщикъ въ халатѣ.

Магазинъ запертъ.

Лудильщикъ *(слезно)*. Право слово, деньги до зарѣзу нужны.

Мастеръ. Ну, а если спросятъ: чьи часы?

Лудильщикъ. И!!. самъ я былъ по часовому-то мастерству ходокъ, да сбился. Эвто дѣло шуточное.

Мастеръ. Десять бери *(встаетъ)*.

Лудильщикъ. Не обидьте — пятнадцать хошь.

Мастеръ. Я сказалъ *(хочетъ итти)*.

Лудильщикъ *(слезно)*. Ну, хошь двѣнадцать?

Мастеръ *(отпираетъ конторку)*. Такъ это вѣрно, что съ холернаго?

Лудильщикъ *(крестясь)*. Убей Богъ! Онъ у меня работалъ, ну и промыслилъ эти часы; а какъ захворалъ, и говоритъ: Иванъ Панкратовъ, можетъ, говоритъ, я помру въ холерѣ, такъ ты помяни мою душу...

Мастеръ. А померъ ли онъ?

Лудильщикъ *(крестясь)*. Въ газетахъ было писано: въ тотъ день тридцать семь померло... Самъ на Волково провожалъ,—на рукахъ четверо несли—провалиться!

Мастеръ отдаетъ деньги лудильщику. Лудильщикъ уходитъ.

Мастеръ *(смотритъ часы)*. Золотые!.. Кажись, у меня были?.. Да! тринадцать камней. Рублей сорокъ выручу... А кладъ мнѣ этотъ народъ: главное, не продастъ, не выручитъ.

Во второмъ часу.

Изъ кабаковъ слышатся пѣсни. Половина рабочихъ подгуляла, половина сидитъ вокругъ грамотѣя, который держитъ «Сынъ Отечества».

1-й рабочій. Ты читай о холерѣ, косушку поставимъ.

2-й рабочій. То само мѣсто читай, гдѣ сказано: какъ ея зачало, какъ ея опасаться должно.

1-й рабочій. Не то: по всему свѣту она ходитъ, али какъ?.. Вѣдь тоже у меня, у него семьи... Мы здѣсь, а они какъ?

Грамотей. Про это дохтуровъ, чать, надо спросить.

3-й рабочій. А тутъ не показано?

Грамотей. Нѣ.

1-й рабочій. Наплевать!.. Ужъ я не хотѣлъ было пить, да видно надо. Хватимъ? *(товарищамъ)*. Бросай ее *(газету бросаютъ подъ столъ)*.

Подходятъ къ стойкѣ и берутъ двѣ косушки. Выпивши, закусываютъ сухарями и свѣжепросольнымъ огурцомъ.

По выходѣ изъ кабака они совѣтуются: какъ бы имъ пообѣдать. Одинъ совѣтуетъ итти въ харчевню.

2-й рабочій. Претитъ, чтобъ имъ околѣть всѣмъ этимъ харчевнямъ!..

Грамотей. Купимте осердія, да и въ кабакъ... Кабы дома?

1-й рабочій *(вздыхая)*. И не говори!.. Совсѣмъ сбили, чтобъ имъ...

Въ квартирѣ портного.

Четверо малолѣтковъ, два закройщика и трое подмастерьевъ сидятъ вокругъ большого стола, покрытаго скатертью. На столѣ ковриги черного хлѣба, деревянныя чашки, ложки, вилки, большой ножъ. Всѣ уже подвыпили и разсуждаютъ про

закройщика Никифора, какъ онъ заболѣлъ холерой, и какъ потомъ Карлъ Ивановичъ сѣтовалъ объ немъ.

Входитъ хозяинъ, фамилія нѣмецкая и выговоръ нѣмецкій, но родился въ Петербургѣ. Въ рукѣ у него бутылка. Самъ онъ выпивши.

— Ну, ребята, кушайте шнабсъ! Потому многа нельзя,—мала по стаканчику мощна.

Работники встаютъ и благодарятъ хозяина: кто наклоненіемъ головы, кто просто отряхиваетъ волосы.

Хозяинъ. Ну, выпивайтъ, кто старшъ!.. Иванъ?

Рабочіе выпили по стакану, кромѣ подростковъ.

Хозяинъ *(указывая на хлѣбъ)*. Закусивайтъ. *(Работники рѣжутъ хлѣбъ, ломаютъ и ѣдятъ)*.

Хозяинъ. Ну, теперь будетъ сюда докторъ... Комнатъ свѣжъ? *(Нюхаетъ)*. Та!! Штановска шиткость!.. А штопъ ей холеръ сдохнуть... *(уходитъ)*.

1-й подмастерье. Подлецъ! Такъ бы и пырнулъ тебя вилкой... Какъ холера, и жидкость появилась...

2-й подмастерье. И кормить по праздникамъ лучше сталъ...

1-й закройщикъ. Зато за починку платьевъ себѣ деньги беретъ.

2-й подростокъ. Вчера меня хлесталъ-хлесталъ за то, что я тебѣ пальтишко заштопывалъ.

Кухарка приноситъ щей. За ней входитъ хозяинъ съ докторомъ.

Докторъ *(нюхая воздухъ)*. Отлично! Почаще только нужно помахивать флагомъ.

Хозяинъ *(потирая руки)*. О! Я... всегда... Я плагородна шеловѣкъ!.. Неугодно ли поглядайтъ *(подводитъ доктора къ щамъ)*.

Докторъ. Да, недурно вы кормите...

На улицахъ меньше зимняго народу. Народъ этотъ идетъ больше рабочій, чиновный, служилый; и другихъ тоже не очень много. Однако, не смотря на холеру, многіе идутъ веселые, попадаются и пошатывающіеся. Изъ кабаковъ слышатся пѣсни; оттуда выходятъ немного выпившіе и, пройдя немного, заходятъ въ другіе кабачки.

Везутъ покойника. Мужички скидываютъ шапки и фуражки и съ благоговѣніемъ молятся, остальные прохожіе, не снимая фуражекъ и шляпъ, проходятъ мимо и вздыхаютъ... Прошли дроги, скрылись,—и печальное настроеніе загладилось другими разнообразными впечатлѣніями, которыя всякому извѣстны въ Петербургѣ.

Съ пяти часовъ еще крѣпче закутилъ русскій народъ и забылъ совсѣмъ о холерѣ. Пошатываетъ пьяныхъ по улицамъ, шатаются пьяные въ Александровскомъ паркѣ; а въ десять часовъ, когда возвращается домой съ гуляній полупьяная и пьяная состоятельная публика, уже спитъ русскій рабочій народъ, только кое-гдѣ въ кабачкахъ и на улицахъ, по Обводному каналу и на Петербургской сторонѣ, идетъ ругань ихъ собратій изъ-за чего-нибудь.

А завтра? Завтра что будетъ, то Богъ дастъ... Его Божья воля!

Въ Петергофѣ.

Лѣтнія сцены.

Седьмой часъ. Пришелъ пароходъ, биткомъ набитый пассажирами. Пассажиры большею частію петербургскіе жители, пріѣхавшіе въ Петергофъ ради освѣженія, развлеченія. Меньшинство состоитъ изъ любопытныхъ, только слыхавшихъ о Петергофѣ.

На плашкотахъ суетня. Пассажиры съ узелками и безъ узелковъ идутъ скоро. Нѣсколько извозчиковъ предлагаютъ свои услуги.

Недалеко отъ пароходной пристани стоятъ нѣсколько мужчинъ, повидимому чиновниковъ.

— Вы не знаете, гдѣ здѣсь Фабричная улица? спрашиваетъ одинъ изъ нихъ, обращаясь къ чиновнику въ сѣромъ пиджакѣ.

— Нѣтъ, не знаю.

— Пойдемте: не все же здѣсь стоять. За людьми, какъ за волной, — сказалъ третій господинъ.

Господа пошли скоро, перегнали нѣсколько человѣкъ. Ѣдутъ кареты, коляски, пролетки. Мостки гремятъ, извозчики у купаленъ то-и-дѣло хватаютъ идущихъ, но ихъ останавливаетъ городовой энергическими словами:

— Куда, куда лѣзешь?!. Пять лошадь!

— На Фабричную улицу... — говоритъ одинъ чиновникъ.

Чиновниковъ окружаютъ восемь извозчиковъ съ возгласами: четвертачекъ!.. ко мнѣ, господинъ!..

Чиновникъ садится. Извозчикъ спрашиваетъ его:

— Куда прикажете?

— На Фабричную.

Извозчикъ ѣдетъ тихо, останавливаетъ лошадь.

— Паш-ш-шолъ!—гремитъ карета.

— Такой нѣтъ...—говоритъ извозчикъ чиновнику.

— Нѣтъ?

— Другая, поди.

— Шевелись съ дороги!

— А, чортъ! берешься возить и улицъ не знаешь... Садитесь, баринъ, далече ли?—кричитъ другой извозчикъ, ѣдущій порожнякомъ сзади.

Чиновникъ садится къ другому извозчику и уѣзжаетъ.

Люди идутъ большею частію молча, глядя впередъ, направо и налѣво. На лицахъ замѣчаются улыбки.

— Шляпка не мала ли?—спрашиваетъ карявая барыня свою подругу.

— Нѣтъ.

— А юбку не видать?

— Что это—при народѣ-то?! Погоди, вотъ въ садъ войдемъ, гдѣ кофейной старанъ, осмотримся.

— А застанемъ ли?

— О! она безпремѣнно дожидается, коли звала. А мужъ у нея теперь во дворцѣ.

— А можно туда?

— Теперь нельзя. Впрочемъ, Василій Степанычъ все тамъ можетъ сдѣлать: вѣдь онъ камеръ-истопникъ.

— Чудно, какъ я погляжу.

— Еще не то увидишь. Это Сампсонъ — безъ устали воду выпускаетъ изо льва.

— Какъ же это?

— А вотъ увидишь. Сказывалъ мнѣ деверь: Сампсонъ былъ царь; вотъ пошелъ онъ гулять въ свой садъ, въ Ерусалимѣ, ну и напади на него ужасное чудовище,—левъ. Ну вотъ онъ и разпласталъ ему пасть, изъ него и потеки вода... Вотъ съ той поры и поставили тутъ статую, Сампсону для славы, а льву на пострамленье.

— Чудно!..

— Право: деверь сказывалъ, а вѣдь онъ при дворѣ большую роль играетъ.

Пріѣхавшая публика расходится и разъѣзжается, такъ что черезъ полчаса у кафе-ресторана только сидятъ франты и почтенные господа.

— Странно: все дорого. Напримѣръ, чай!

— Ну, водка противъ Павловска не въ примѣръ дешевле.

— А я, представьте, уже девятую бутылку пива пью. Пиво только дрянь.

— А я-то?—вотъ что значитъ—пріѣхалъ для развлеченія и не имѣть, что называется, гдѣ главы преклонить. Пріѣзжаю съ утра для того, чтобы осмотрѣть городъ...

— Вы, вѣроятно, новичокъ здѣсь?

— Я часовой мастеръ, у меня свой магазинъ на Мѣщанской, только изволите видѣть, почему я хотѣлъ нынѣ осмотрѣть Петергофъ, такъ это явствуетъ изъ того, что нашему брату, мастеру, времени очень немного и, хотя я бывалъ въ Петергофѣ нѣсколько разъ, только видѣлъ одни сады, а города не видалъ. Ну, взялъ извозчика, полилъ дождь. Я въ гостиницу: выпилъ, закусилъ. Дождь пересталъ, я пошелъ въ садъ; шагалъ-шагалъ, какъ блуждающая комета, усталъ страшно, а толку никакого нѣтъ... Зашелъ въ балаганъ, что вонъ тутъ противъ дровяного двора, выпилъ, спать захотѣлось. Ну, хоть трава и сырая, да я расчелъ, чѣмъ мнѣ тратить полтора цѣлковыхъ за два часа за номеръ, и прилегъ подъ березки. Ужъ не знаю, долго ли бы я проспалъ, только меня разбудилъ дождь. Всталъ я, полѣзъ въ карманъ за портмонэ и представьте...

— Что же?

— Оттуда выпрыгнула лягушка...

Сидѣвшіе захохотали.

— Вотъ гадость-то!.. А я раньше видѣлъ ихъ множество; такія, знаете ли, мизерныя, а тоже скачетъ, какъ выразился Некрасовъ:

По малу, по полсаженки,
Низкомъ перелетаючи.

Вѣдь эдакая гадость, пожалуй, можетъ и въ ухо заползти?

— Пожалуй.

Часовой мастеръ ковыряетъ мизинцами сперва правое, потомъ лѣвое ухо.

— Ужъ я даже выкупался.

Сидящіе за однимъ столомъ съ нимъ хохочутъ.

— Нѣтъ, вы не вѣрите?

Хохотъ.

— Вотъ вы бы въ моемъ положеніи были!—горячился часовой мастеръ.

— Только никакъ не на травѣ спать!

— И счастье, что васъ не забрали, раздаются голоса, прерываемые хохотомъ.

Часовой мастеръ уходитъ въ кусты и скрывается.

При входѣ въ нижній садъ, у мостика, на лѣвой сторонѣ, стоятъ двѣ дамы и четверо мужчинъ въ пальто и пиджакахъ; у самыхъ перилъ, немного подальше отъ нихъ, стоитъ мужчина въ пальто и бѣлой круглой шляпѣ. Въ правой рукѣ онъ держитъ удилишко; около него стоитъ сторожъ, старый человѣкъ съ орденами.

— Я вамъ говорю, не приказано! — кричитъ сторожъ господину съ удилишкомъ.

— Да вѣдь я пискарей... въ рѣчкѣ. А рѣчка не садъ.

— Мало что. Велѣно удилишки ломать.

— А основанія?

— Пожалуйте къ надзирателю.

Кучка любопытныхъ увеличивается.

— Я не пойду... Ты на мѣстѣ поймай.

— Въ чемъ дѣло, господа?—спрашиваетъ кучку вновь пришедшій господинъ.

— Въ садъ пробирается рыбу удить.

— Господа! здѣсь, вотъ прямо, есть рѣчка... Выходитъ въ заливъ. Я въ заливѣ ужу, по колѣно въ водѣ.

— Пожалуйте къ надзирателю.

— Пойду!..

Толпа идетъ въ садъ, рыболовъ идетъ назадъ, а сторожъ садится на лавку и что-то ворчитъ про себя.

Въ аллеяхъ народу очень мало, проѣзжаютъ коляски, изрѣдка ѣдутъ верхомъ на лошадяхъ военные.

Издалека слышится музыка. Фонтаны въ дѣйствіи.

У Петровскаго дворца на площадкѣ у пруда стоитъ толпа человѣкъ въ двадцать и смотритъ въ воду. Въ водѣ плаваетъ рыба.

— Какая же это рыба? — спрашиваетъ служителя дама.

— Особая—хорошая: плотва.

— А налимы есть?

— Такой нѣтъ, потому поганая. Лещи и щуки есть.

— А караси?

— Караси всѣ въ томъ углу (показываетъ налѣво).

— А какъ бы позвонить?

— Можно.

— Это для чего же?

— Увидите.

Служитель звонитъ, рыба приближается къ берегу.

— Я нарочно съ собой булку взялъ, потому я булочникъ, и мнѣ эту рыбу пустого стоитъ попотчевать,—говоритъ булочникъ, крошитъ хлѣбъ и кидаетъ въ воду, рыба кружится около крошекъ и кусочковъ.

— Она пріучена къ этому. Батюшка Петръ Алексѣевичъ самъ руками ее посадилъ.

— И она съ тѣхъ поръ?

— Какъ же-съ. Коя расплодилась тоже... Тоже Петръ самъ руками ее ловилъ, какъ хлѣба броситъ. А теперь не дается.

— И часто вы ее кормите?

— На ея содержаніе по три пуда въ мѣсяцъ хлѣба отпускается, да гдѣ ее насытишь. Спасибо публика даритъ ее.

— Какъ даритъ?

— А вотъ, кто захочетъ.

— Позвони-ка, братецъ... кричитъ подошедшій вновь господинъ.

Служитель звонитъ. Господинъ любуется.

— Канашка!.. Милашка!.. Тю! тю!.. (ловитъ рыбу руками, но та не дается). Прикормить бы. Что стоитъ прикормить?—спрашиваетъ онъ служителя.

— Сколько пожалуете.

Господинъ вынимаетъ рублевую бумажку.

— Извини... мелочи нѣтъ. Ну??

Служитель уходитъ.

— Нѣтъ, вы извините: я прикормилъ... Я булочникъ. Видите?—говоритъ булочникъ господину и показываетъ булку.

— То вы, то я... Она...

— Нѣтъ, я посмотрю какъ вы ее поймаете.

Публика улыбается, булочникъ уходитъ. Вышелъ служитель.

— Нѣтъ я ужо, послѣ, когда.. Осматриваетъ публику.—Покажи-ко мнѣ дворецъ.

Служитель съ господиномъ уходитъ во дворецъ. Публика расходится.

У Монъ-Плезира играетъ музыка въ двухъ мѣстахъ. По аллеямъ, ближе къ музыкѣ, тихо плывутъ коляски; у самой музыки коляски стоятъ; народъ или тихо идетъ, или сидитъ на скамьяхъ.

— Нѣтъ, что ни говорите, а здѣсь скука. Ни одного развлеченія нѣтъ,—говоритъ господинъ дамѣ, сидя на скамьѣ.

— А фонтаны—вѣдь это чудо искусства!

— Полноте. Я въ своемъ имѣніи еще почище сдѣлалъ Сампсона. Танцовать негдѣ... То ли дѣло Павловскъ.

— Но воздухъ, купанье.

— Нѣтъ... Ну хоть бы фейерверки!.. Никогда больше не поѣду сюда.

Противъ Сампсона въ бесѣдкѣ сидятъ два приказчика съ модистками.

— Я удивляюсь, откуда это вода, — говоритъ модистка.

— Съ моря,—отвѣчаетъ ея кавалеръ.

— Ты говоришь съ моря, а я говорю—нѣтъ. Развѣ можно на такую высь поднять воду,—доказываетъ другой приказчикъ.

— Можно.

— Нѣтъ. Ты говоришь, потому-что много выпилъ.

— Пари?!

— Дюжину пива.

— Идетъ!

Приказчики встаютъ и подходятъ къ городовому, стоящему недалеко отъ Сампсона. Отъ фонтановъ шумъ.

— А что, кавалеръ, откуда это вода?—кричитъ приказчикъ подъ ухо городовому.

— Сверху, съ прудовъ.

— Что??

— А я что говорилъ?

— Свинья! Это видишь? Показываетъ кулакъ.

— Отойдите, господа: публика.

Навстрѣчу имъ идутъ мужчина и женщина.

— Тутъ механика устроена,—говоритъ мужчина женщинѣ.

— Нѣтъ, тутъ не механика, а пруды,—вмѣшивается приказчикъ.

— Не съ вами говорятъ, милостивый государь.

— Нѣтъ, не механика, а чортъ.

— Невѣжа!—говоритъ дама.

— Вы вѣжа!.. Что у васъ на головѣ, механика тоже, видно—шиньоны.

— Мерзавецъ!!.—шипитъ мужчина.

— Я мерзавецъ??.

— Прочь!!. Отойдите, господа,—говоритъ городовой. Спорщики расходятся.

Девять часовъ. Зажигаютъ фонари у дома графа Апраксина.

Народъ тѣснится противъ дома. Городовые разгоняютъ народъ для проѣзда каретъ. Играетъ музыка.

Пошелъ дождь. Женщины досадуютъ.

— Вѣдь пальто не взяла!

— И я... И что это за погода!

— Глядите, барыня подолъ на голову задрала.

— Господа! кто щиплется?.. Это, наконецъ, дерзость! Здѣсь не позволено! кричитъ дама-солдатка.

— Ничего...

Къ верху поднялась ракета.

— Табакъ не курить! —кричитъ городовой.

Публика, недовольная дождемъ, расходится, многіе идутъ на желѣзную дорогу, извозчики просятъ до желѣзной дороги полтинникъ.

Къ вокзалу желѣзной дороги подходятъ двѣ кучки; въ передней четыре человѣка, въ задней трое. Всѣхъ смочило, двѣ дамы накинули на головы подолы.

— Я говорилъ—бери пальто, говоритъ мужчина.

— Я говорилъ, что здѣсь никакой иллюминаціи не будетъ.

— Будетъ.

Входятъ на платформу.

— Будетъ иллюминація?—спрашиваетъ мужчина служителя.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Ахъ, чтобъ васъ... Это все вы? Вѣдь до Ста-

раго-то Петергофа теперь не ускачешь много-то, говоритъ мужчина товарищу.

— На поѣздѣ отправимся.

Отпираютъ двери въ первый и второй классъ.

— Вы во второй классъ?—спрашиваетъ служитель, стоящій въ дверяхъ.

— Мы такъ.

Служитель заворачиваетъ толчкомъ въ шею говорившаго и запираетъ двери.

— Это что же такое?—говоритъ удивленный мужчина.

— Такіе ужъ порядки... На каждомъ шагу препинаніе...

Третій классъ, или залъ третьяго класса, набитъ народомъ, гвалтъ; торговцы водки и пива не успѣваютъ продавать.

— Шевелись – рыло набью!—кричитъ купецъ.

— Ну, ну, успѣешь?—кричитъ звонко мальчикъ-торгашъ.

— Перцовки!

— Перцовки нѣтъ.

— Ахъ, какая скверная водка!—кричитъ приказчикъ и кидаетъ рюмку на полъ.

Гвалтъ.

— Это не въ приказчичьемъ, братъ... Не хошь ли въ полицію, а потомъ и къ мировому судьѣ! говоритъ жандармъ.

— Заплачу.

Приказчикъ расчитывается.

Къ застойкѣ подходитъ мужичекъ.

— Нешто выпить... Дай-ко-сь осьмуху?

— Мы не продаемъ.

— А это что?

— Водка.

— Ну и давай. Почемъ у те?

— Пять копеекъ рюмка.

— Ну, лѣшій те задери!

Мужичекъ пьетъ и закусываетъ огурцомъ.

— Смотри,—холера!—говоритъ мужичку приказчикъ.

— Холера! холера во кому... говоритъ мужичекъ, показывая на шляпы и кринолины.

— Разсказывай.

— Чего разсказывай! Еще стращатъ... Знаемъ мы эту холеру, откуда она...

— А ну-ко скажи!—подзадориваетъ мужичка приказчикъ.

— Чего скажи... Смѣяться-то нечего... Нужды нѣтъ, что мужикъ, а дѣло знаю.

— Да знаешь ли?.. Поди, выпей...

— Небось, угостить хошь. И даромъ не буду. Я тѣ скажу, я каменщикъ, хозяинъ-то пять цѣлковыхъ мнѣ долженъ, вотъ и сталъ меня турить, а тутъ, какъ опосля я узналъ, науськалъ ребятъ, тѣ и говорятъ: смотри, ты захворалъ. А я животомъ въ та поры смучился. А хозяинъ мнѣ и говоритъ: иди въ лѣчебницу, я, говоритъ, за входъ тебѣ дамъ денегъ... А животъ у меня болитъ, поносъ, что ли, это такой, бѣда!.. Ну, я думаю: это значитъ въ больницу, а оттуль къ Митрофанію милостивому... Нейду. Нѣтъ таки, дохтура призвалъ. «Что, спрашиваетъ дохтуръ, съ тобой».—«Ничего»,—говорю.—«Какъ, говоритъ, ничего; тебя надо въ Обуховскую».—«Я говорю, животъ маленько болѣлъ, а теперь полегчало». Ну, пощупалъ онъ меня и такъ, и эдакъ. «Ладно, говоритъ: сходи въ баню, натрись салоиъ, вотъ тебѣ цидулка въ аптеку... Это, говоритъ, въ банѣ выпить надо... А какъ изъ бани, говоритъ, самоваръ поставь, мяты напейся»... Я и говорю: «а гдѣ бы я взялъ самовару?..» «Гдѣ хошь, говоритъ. Коли, говоритъ, здоровъ хочешь быть—найдешь,—не маленькой»... Ну вотъ хозяинъ и раззорился, далъ мнѣ полтинникъ, а я въ кабакъ. Выпилъ осьмуху, какъ рукой сняло. А тутъ товарищи сыскались,—такъ и ухнулъ полтинникъ.

— Мастеръ же ты пить-то!

— И ты хорошъ, нужды нѣтъ, что одежда барская...

Слушатели захохотали...

Въ это время ударили звонокъ, и публика повалила на платформу, толкая другъ друга, ругая невѣждъ за невѣжливое обращеніе и служителей, пропускающихъ людей поодиночкѣ.

На большой дорогѣ.

(Сцены).

I.

Встрѣчные.

Полдень. На небѣ нѣтъ ни одной тучки. Солнце палитъ. По лѣвой сторонѣ сперва поле съ желтѣющей рожью, слегка покачиваемой вѣтеркомъ; потомъ небольшая полоса лѣсу; потомъ мѣстность немного поднимается, а далѣе гора, идущая по всей лѣвой сторонѣ различными направленіями, то поднимаясь, то опускаясь и кажущаяся съ большой дороги очень небольшой. На горѣ лѣсу нѣтъ, а поверхность ея голая сѣрая, а тамъ, куда солнце заглядываетъ только съ двухъ до пяти часовъ утра и восьми до девяти вечера, поверхность красная, глинистая; по временамъ, когда идутъ дожди, отъ нея отламываются порядочные куски земли и даже камни. Вокругъ поля рѣдкій лѣсъ. Въ лѣсу никто не стукнетъ, не свистнетъ, не щелкнетъ. Направо косогоръ, мѣстность низменная, но холмистая; въ однихъ мѣстахъ кустарники, въ другихъ лѣсъ сперва зеленый, а потомъ кажущійся издали чернымъ. Если поглядѣть его да подольше да примѣрить, сколько приблизительно это пространство занимаетъ верстъ, то такъ и кажется, тутъ всего не болѣе какъ двадцать верстъ; но вонъ до бѣлаго камня Перемета, отсюда съ большой дороги, статистики насчитываютъ сорокъ верстъ, а отъ Перемета вонъ до той бѣленькой тучки, только-что появившейся на горизонтѣ и будто сѣвшей на верхушки сотенъ деревьевъ, такъ Богъ вѣсть сколько верстъ. И изъ этого необъятнаго пространства не слышится ни стука, ни звука, ни теньканья; не видно ни человѣка, ни звѣря, а между тѣмъ въ углу изъ двухъ лѣсныхъ грядъ

валитъ то сѣрый, то черный дымъ, то изрѣдка вылетитъ оттуда капелька золотистаго пламени.

Въ воздухѣ тяжело, пахнетъ палениной... Даже на большой дорогѣ пусто. Идетъ путникъ и удивляется: неужели здѣсь нѣтъ ни одной живой души никогда? Но вотъ онъ увидалъ въ канавкѣ лапоть, и это доказываетъ, что не безлюдна же здѣсь мѣстность. А эта бичевочка на телеграфной проволокѣ? Али и она попала сюда случайно, вѣтромъ, или какая-нибудь неразумная голова закинула ее съ какою-нибудь цѣлью? И знаетъ путникъ, что большая это дорога, да теперь-то отчего такъ безлюдно на ней?

Но вотъ показалась на дорогѣ лошадь съ возомъ; она точно выплыла снизу, поднялась, постояла и стала спускаться съ косогору; за ней выплыла другая, третья... выплыло и растянулось по дорогѣ сорокъ лошадей, сорокъ возовъ. На переднемъ возу сидитъ мужичекъ въ синей изгребной рубахѣ и такихъ же штанахъ въ сапогахъ; спитъ онъ, лежа на животѣ, спрятавши лицо между руками; также спятъ мужички на пятомъ, десятомъ, двадцать седьмомъ, тридцатомъ возахъ, а около одиннадцатой, двадцать девятой и сороковой телѣгъ идутъ мужички въ шляпахъ на подобіе горшка, въ сапогахъ, въ пестрядинныхъ или изгребныхъ штанахъ и рубахахъ. Идутъ они задумчиво, изрѣдка скидывая свои шамшурки (шляпы), вытаскивая оттуда ситцевые платки, и этими уже пропитанными грязью и пылью платками утирали свои щеки. Лошади идутъ шагомъ, не отставая другъ отъ друга, и если остановится передняя лошадь, за ней остановятся и прочія, а впередъ не забѣгаютъ. Передній ямщикъ тотчасъ просыпается, свистнетъ разъ— лошадь пошла, за ней пошли и остальныя, а ямщикъ опять спитъ. Да и то еще удивительно: шелъ обозъ по тракту, потомъ вдругъ передняя лошадь своротила налѣво и пошла по неудобренной глинистой дорогѣ, за ней пошли остальныя лошади, а ямщики не воспрепятствовали.

Подулъ вѣтерокъ; отъ поля, отстоящаго отъ дороги очень близко, пахнетъ хорошо, только пыль, поднимаемая лошадиными ногами, садится на все, что находится на пространствѣ, обширномъ настолько, чтобъ ей снова усѣсться гдѣ-нибудь: такъ пылью покрыты березовыя листья, сосновыя и осиновыя деревья, а о ямщикахъ, идущихъ около телѣгъ, и говорить-то жалко: сапоги побѣлѣли, переды рубашекъ, щеки и бороды посѣрѣли отъ пыли.

Одинъ ямщикъ остановился. Какъ видно, онъ поджидалъ приближенія товарища. Товарищъ, глядя въ землю, поровнялся съ этимъ ямщикомъ; ямщикъ пошелъ рядомъ.

— Сивко-то ничего?! — не то спросилъ, не то удивился ямщикъ.

— Ась?

— Я говорю, Сивко претъ... Кабы онъ, чтобъ ему ни дна ни покрышки, не слупилъ эдакую кучу, ничего бы.

— А что?

Ямщикъ замолчалъ. Впереди остановилась лошадь, и ямщикъ пошелъ скорѣе. Къ неговорливому ямщику подошелъ задній ямщикъ и сказалъ, указывая на уходящаго ямщика:

— Что онъ тѣ?

— А?—и онъ сплюнулъ въ кусты.

— Я все, слышь, что думаю?

— Ну?

— Кабы Яковъ-то Заковыркинъ не схлыдзилъ... Вотъ что!

— Ну!!

Ямщики разошлись; немного погодя они развалились на возахъ.

Жаръ не стихаетъ, а еще жжетъ сильнѣе. Стали подниматься на гору. Всѣ ямщики слѣзли съ возовъ и шли вразсыпную; навстрѣчу ѣдетъ тройка.

— Держи лѣвѣ! — кричитъ почтовый ямщикъ. Передній ямщикъ и не глядитъ на почтоваго ямщика.

Дорога широкая, но несмотря на ея ширину, въ этомъ мѣстѣ ѣздятъ только по одной ея половинѣ, неудобной для встрѣчныхъ; по остальной же части дороги потому не ѣздятъ, что хрящъ только ссыпается на дорогу, а измельчаніе его предоставляется обозамъ.

— Тебѣ говорятъ? — крикнулъ почтовый ямщикъ, остановивъ свою тройку.

— Чего держать-то? Самъ поѣзжай... Обозъ-то сорокъ возовъ!—крикнулъ недовольно передній ямщикъ обоза, сворачивая.

Немного погодя, ямщики опять своротили обозъ на удобный проѣздъ, лошади пошли, пошли и ямщики около своихъ возовъ, задумчивые, злые.

Впереди ѣхалъ навстрѣчу обозъ съ колокольцами. На передкѣ телѣги сидѣлъ солдатъ, на другихъ телѣгахъ тоже.

— Стой!—крикнулъ солдатъ переднему обозному ямщику.

— Пошто?—спросилъ ямщикъ.

— Не видишь, что порохъ веземъ!

Обозъ остановился; обозъ съ порохомъ прошелъ медленно. Проѣхала мимо обоза тройка, но пороховые ея не остановили.

Дорога спускалась подъ-гору, но спускъ былъ почти-что незамѣтный, такъ-что впереди за десять верстъ виднѣлись поля, холмы и высокіе гребни горъ и между ними по косогору тянулось какое-то селеніе. Здѣсь жжетъ не очень, зато понесло непріятнымъ запахомъ: вѣроятно въ лѣсу лежитъ подохлая лошадь.

Черезъ четверть часа дорога поворотила вправо; стали опять подниматься, поднялись; впереди только одна дорога—по обѣимъ сторонамъ высокій густой сосновый и березовый лѣсъ.

Черезъ два часа обозъ сталъ придвигаться къ селу.

II.

Несчастье.

Часу въ восьмомъ вечера обозъ выѣхалъ изъ воротъ постоялаго двора. Выѣхавши на трактъ, онъ растянулся, по крайней мѣрѣ, на протяженіи полутораста саженъ. Все село, построенное по обѣ-

имъ сторонамъ тракта, было запружено обозами, то плетущимися на роздыхъ къ постоялымъ дворамъ, то выползающими изъ постоялыхъ дворовъ, то растянувшимися вдоль тракта въ разныя стороны: однѣ лошади стояли головами на Сибирь, другія на Россію. Поэтому для проѣзжающихъ на тройкахъ оставалось проѣзду немного, но сценъ и самоуправствъ, какъ со стороны почтовыхъ ямщиковъ, такъ и проѣзжающихъ, здѣсь не было, вѣроятно, потому, что мирные обитатели селенія, послѣ дневныхъ тяжелыхъ трудовъ, отдыхали за воротами своихъ домовъ на заваленкахъ. Дѣти играли въ мячъ, бѣгали со змѣйками, или изощрялись въ искусствѣ закидывать на телеграфныя проволоки бичевки съ каменьями.

Два обоза тронулись. Тронулись еще три обоза.

Стало свѣжѣть. Солнышко закатываясь за верхушки деревьевъ, золотило горизонтъ; на небѣ, съ восточной стороны, тихо двигались на юго-западъ тучи, впрочемъ, маленькія.

— Господи, кабы дождичка! — шепталъ одинъ ямщикъ, глядя на тучки и помахивая своимъ витнемъ.

Одна, средняя, лошадь остановилась.

— Ну!..—крикнулъ ямщикъ.

Лошадь стоитъ.

Ямщикъ стегнулъ ее витнемъ; она рванулась, но не могла итти.

— Чего глядишь! Ткни ей въ морду-то!— крикнулъ другой ямщикъ.

— Стоять, что ли, здѣсь по твоей милости!

— Ну, ну... Богъ съ тобой.

Передняя половина обоза далеко уже была. Къ стоявшей лошади подошла богомолка, шедшая изъ села за обозомъ и отдавшая одному мужичку за узелокъ полтинникъ.

— Ты бы водицей попоилъ ее,—сказала она съ участіемъ ямщику.

— Чего водицей! Не знаютъ?..—взъѣлся на богомолку ямщикъ.

Богомолка, недовольная ямщикомъ, отошла. Обозъ пошелъ, но лошадь часто останавливалась.

— Говорили: подкуй, нѣтъ!—взъѣлся на хозяина лошади ямщикъ.

— Самъ знаю.

— То-то знаешь!

— Не впервые ходимъ...

Попался навстрѣчу небольшой обозъ, проѣхалъ, ямщики поздоровались другъ съ другомъ: шедшіе за руки, сидящіе сняли шляпы и спрашивали.

— Съ чѣмъ вы?

— Чаи.

— А! а мы стекло... Прощайте.

Лошадь едва шла. Хозяинъ боялся бить ее, не дозволялъ дотрогиваться до нея товарищамъ, но наконецъ и побои ни къ чему не привели. Принудили ямщика ѣхать позади.

— Говорили, не дойдетъ.

— Дойдетъ... Съ жару, братцы.

— Толкуй. А вотъ сиди теперь съ ней назади... Поглядимъ, какъ ты поскачешь.

— Бога вы не боитесь! Разѣ я виноватъ?—говорилъ чуть не со слезами ямщикъ.

Богомолка говорила своему ямщику:

— Это зато, что онъ страннаго человѣка обидѣлъ... Я вездѣ въ почетѣ, сколько мѣстовъ исходила.

Но на это ея ямщикъ отвѣчалъ только посвистываньемъ.

Темнѣло. Становилось все свѣтлѣе, на юго-востокѣ стояла луна.

Ямщики облачились въ зипуны и большею частью шли около телѣгъ.

Вдругъ задняя лошадь пала.

Ямщикъ, шедшій около нея, поблѣднѣлъ.

— Братцы!—крикнулъ онъ, и это слово далеко раздалось въ горахъ эхомъ, точно раскатъ грома.

Въ нѣсколько минутъ обозъ остановился; къ несчастному ямщику подошло пять ямщиковъ.

— Что жъ ты, всталъ?

— Глядите!

— Наказаніе!!—говорили ямщики, разводя руками.

— Бѣда!.. И не говорили мы тебѣ: не бери, Шилохвостовъ, лошади, плоховата; нѣтъ!.. Вотъ и плачься. Впередъ умнѣе будешь.

— Братцы!.. Я!.. право...

Ямщики стали разнуздывать павшую лошадь, оттащили ее немного, задумались. Хозяинъ лошади утиралъ ладонями глаза.

— Дѣло дрянь. Какъ теперь?.. А?

— Спроси Якова Семеныча... А у те, тѣ лошади-то, свезутъ ли?

— Охъ, братцы!.. Охъ... животъ болитъ...

— Ну-ну.

Четыре ямщика оттащили павшую лошадь въ кусты и помогли ему переложить съ телѣги кладь на другія телѣги.

— Ну, на косушку дашь, такъ и быть, возьмемъ.

— Что дѣлать: всяко бываетъ...

Тронулись, назади обоза ѣхала пустая телѣга. Богомолка просилась въ нее, ея не пустили.

— Коли пять цалковыхъ дашь, ладно.

Ямщикъ, потерявшій лошадь, сидѣлъ теперь въ телѣгѣ и то плакалъ, то ругался. Въ обозѣ у него шло три лошади; теперь только двѣ, и это обстоятельство принесло ему большую потерю.

Стали тормозить телѣги, спустились съ крутой горы, черезъ часъ стали опять подниматься на крутую гору, съ которой тоже спускался обозъ. Вдругъ что-то грохнуло, застучало; затрещали деревья. Ямщики поглядѣли кругомъ въ изумленіи, перекрестились. Спускавшійся съ горы обозъ остановился.

— Что у васъ стряслось?

— Здорово!.. Бѣда! Бочка соскочила.

— Что ты? Вонъ у Шилохвостова лошадь пала... Какъ же она слетѣла-то, проклятая?

— Чортъ ее угораздилъ! Съ виномъ—вотъ что обидно!

— Эка бѣда! Ямщики съ чаемъ хохотали.

— Что дѣлать!.. Вонъ Шилох... Такъ какъ? уцѣлѣла ли?

— Врядъ ли! Не видать, а какъ спускаться-то?.. Нельзя! Грѣхъ! грѣхъ!

Потужили ямщики о своихъ горестяхъ и тронулись.

Кое-какъ взобрались на гору, перекрестились.

III.
Воры.

Вѣтеръ дуетъ холодный. Равнина имѣетъ нѣсколько десятковъ верстъ. Луна свѣтитъ и обливаетъ своимъ свѣтомъ рѣки подъ горой, гдѣ все, какъ будто, покрыто мракомъ. Скучно, мертво здѣсь, даже жилымъ не пахнетъ. Отъ вѣтра гудятъ телеграфные столбы. Ямщики, позѣвывая, идутъ около своихъ лошадей, озираясь по сторонамъ, оглядываясь назадъ. То-и-дѣло слышатся ихъ возгласы, далеко раздающіеся эхомъ.

— Алексѣ-евъ?

— Ау-у!

— Погляды-ва-й!

— Ау-у!

Такъ шли ямщики, перекликиваясь и держа каждый въ рукѣ толстую палку съ гирькой на случай обороны.

Вдругъ къ задней телѣгѣ подъѣхала телѣга, запряженная въ одну лошадь. Въ телѣгѣ сидѣли двое мужчинъ.

— Эй вы! кто тутъ?—крикнулъ задній ямщикъ и подошелъ къ телѣгѣ.

— Свои. Лошадь, пріятель, захворала; съ желѣзомъ ѣдемъ...

— То-то съ желѣзомъ! Поди прочь!

— Не горячись, другъ; съ обозомъ-то веселѣе... Самъ знаешь, однимъ ѣхать опасно: съ ярмонки ѣдемъ... Кожи на желѣзо вымѣняли, съ барышами ѣдемъ.

Ямщикъ почесалъ голову, заглянулъ въ телѣгу.

— Не вѣришь? Загляни, пощупай, Христосъ съ тобой.

Ямщикъ пощупалъ: дѣйствительно въ телѣгѣ полосы желѣза.

Онъ пошелъ скорѣе къ своей телѣгѣ, часто оглядываясь назадъ, но было еще темно.

— Василь, что ты?—окликнулъ задняго ямщика передній.

— Ничего: съ желѣзомъ ѣдутъ.

— Доглядывай!

Ямщикъ остановился и, поравнявшись съ телѣгою, спросилъ мужчину:

— А что много людей на ярмонкѣ было?

— Страсть, такъ много, такъ много... Главное барыша сколь... Я вотъ рублей на сто вывезъ.

— А что жъ, почтенный, гдѣ товарищъ-то твой?

Въ телѣгѣ, дѣйствительно, былъ одинъ человѣкъ, а не двое, какъ раньше.

— А онъ вонъ гдѣ!..—указалъ назадъ сидѣвшій въ телѣгѣ человѣкъ. Ямщикъ обернулся и вдругъ почувствовалъ такой сильный ударъ въ голову, что свалился. Сидѣвшій въ телѣгѣ ударилъ по лошади; лошадь пошла скоро и какъ только поравнялась съ третьимъ возомъ, оттуда полетѣло вдругъ въ телѣгу два мѣста чая, и въ телѣгу соскочилъ съ воза человѣкъ. Лошадь пошла еще скорѣе, а сидѣвшій въ телѣгѣ кричалъ залихватски:

— Эхъ ты, голубчикъ!

— Стой!—крикнулъ одинъ ямщикъ.

— Держи!—кричалъ другой. И вмигъ мѣстность огласилась крикомъ: держи!! воры!! разбойники!!

Телѣга пошла въ сторону, за ней погнался ямщикъ; въ него выстрѣлили, но не попали.

Передній ямщикъ, услыхавъ издали крикъ, побѣжалъ въ ту сторону, куда ѣхала телѣга, погналъ лошадь, ударилъ ее по ногамъ, лошадь упала, онъ ударилъ кистенемъ вора; другой сталъ заряжать пистолетъ, но въ это время двое ямщиковъ уже схватили другого вора.

— А такъ-то тебѣ!

Вора стали бить.

— Ахъ бы день! Поронь бы ему?..

— На осину бы!

— Гдѣ осина-то?.. На столбъ къ телеграфу,— не достать.

Воровъ постарался поколотить каждый. Упавшій отъ удара ямщикъ кое-какъ оправился и просилъ товарищей представить воровъ въ село.

— Что ихъ представлять! Знамъ мы эвти дѣла. Языки имъ надо обрѣзать, вотъ что...

Однако ограничились тѣмъ, что воровъ проучили такъ, что они не могли шевельнуть ни ногами, ни руками; мѣста съ чаемъ у нихъ отобрали.

Началò свѣтать. Ямщики осмотрѣли возы, увязали разрѣзанный возъ и тронулись въ путь, ругая воровъ.

— Братцы, хоть лошадь-то подымите, Христа ради... Мы пошутили...—молили ямщиковъ воры.

— Сидите! Мы еще въ станъ объявимъ, подлые вы люди!

Обозы пошли, а воры, лежа въ телѣгѣ, не могли тронуться съ мѣста; лошадь ихъ лежала.

— Надо бы, ребята, связать ихъ, да въ нашу телѣгу положить,—говорилъ одинъ ямщикъ.

— Хлопоты чтобы были! Нѣтъ, лучше такъ-ту: опасаться будутъ.

— А вотъ надо рѣшить вотъ како дѣло: у Шилохвостова лошадь околѣла.

— Надо эти мѣста показать украденными.

— Дѣло!

— Дворникъ староста; бумагу пропишетъ по намъ. Шилохвостовъ же избитъ.

— Это вѣрно. Только, ребята, всѣмъ за одно чуръ стоять!

— Ну?

Ямщики разошлись по своимъ возамъ.

Солнышко начало золотить горизонтъ, дышится хорошо, на душѣ дѣлается веселѣе.

Въѣхали въ село. Вдругъ мимо нихъ проѣхала та самая телѣга, въ которой сидѣли воры. Только въ телѣгѣ было уже три человѣка. Это удивило ямщиковъ. Они обругали воровъ, тѣ не остались въ долгу, и одинъ показалъ имъ ножъ. Скоро телѣга съ ворами завернула налѣво по тракту,

а ящики, сказавъ другъ другу: теперь пять мѣстъ чаю покажемъ украденными, и дѣло въ шляпѣ, оставили обозъ передъ воротами постоялаго двора.

Въ деревню!

(Сцены).

Октябрь мѣсяцъ. Изъ петербургскихъ каналовъ гонятъ въ Неву порожнія барки, суда, лодки разныхъ величинъ; Нева тоже пустѣетъ. Мостовыя тоже оканчиваютъ починиваться.

Погода стоитъ по утрамъ то холодная, то сырая; но, несмотря на это, на Сѣнной площади, недалеко отъ вѣсовъ, между балаганами съ овощами и рыбой и торгашами мясомъ съ досокъ, напротивъ гостиницы «Полтава», по утрамъ много стоитъ крестьянъ большею частію въ полушубкахъ. И стоитъ только спросить кого-нибудь: что они дѣлаютъ тутъ? вамъ отвѣтятъ: собираются въ деревню, и къ этому прибавятъ еще, что «тутъ они разыскиваютъ земляковъ, на Сѣнной много съѣстныхъ и распивочныхъ заведеній». Повидимому, этотъ народъ, отправляющійся въ деревню, веселъ, въ противоположность своимъ товарищамъ, также толкущимся на Никольскомъ рынкѣ и у Семеновскаго моста... Пожалуй, тутъ можно найти и юморъ... По воскреснымъ днямъ Сѣнная еще больше оживляется, крестьянъ прибываетъ больше и больше. Трактиры и гостиницы съ вывѣсками въ родѣ «Полтава», «Ростовъ» и др. и безъ вывѣсокъ, питейныя заведенія, гласящія «распивочно и на выносъ», харчевни болѣе прежняго наполняются крестьянами, подмастерьями, солдатами; снуютъ туда и женскія личности; торгаши пироговъ съ рыбой, рубленой говядиной и рублеными яйцами то-и-дѣло останавливаютъ идущій народъ, нахваливая свое печеніе; слышатся пѣсни, крики, драки.

Утро. Свояки изъ одной деревни Тверской губерніи Никита Дорофеевъ и Пантелей Савиновъ сидятъ на своей постели, въ темной и грязной избѣ, въ которой въ это время кромѣ нихъ никого уже нѣтъ, такъ какъ мы застаемъ ихъ въ восемь часовъ. На стѣнахъ кое-гдѣ висятъ грязныя тряпки, кирки, опояски, фуражки: подъ нарами два сундучка, нѣсколько узелковъ. Въ избѣ душно и угарно; но если кухарка Ѳедосья, выходя изъ кухни на дворъ, отворяетъ дверь, то въ избѣ съ полу поднимается легкій паръ. Постель свояковъ состоитъ изъ посланныхъ на полъ двухъ поддевокъ; на узелки, служившими подушками, положены кое-какъ сложенные полушубки, которыми, какъ надо полагать, свояки одѣвались. Никита и Пантелей на видъ имѣютъ годовъ сорокъ, но Никитѣ по паспорту значится только 31 годъ, а Пантелею тоже по паспорту 29 лѣтъ. Лица у обоихъ обросли значительно волосами и бородами, волосы всклокоченные, лицо у Никиты загорѣлое, у Пантелея блѣдное, худощавое. На видъ Никита крѣпче и здоровѣе своего товарища.

Сидятъ они: Никита въ ситцевой розовой рубашкѣ, которая до того загрязнена, что кажется, будто, онъ не снималъ ея съ себя болѣе мѣсяца; Пантелей въ холщевой рубахѣ; на обоихъ штаны синіе изгребные, ноги босыя. По обѣимъ сторонамъ ложа—передъ Никитой лежитъ пара худыхъ сапогъ, замаранныхъ глиной, передъ Пантелеемъ новые лапти.

Никита и Пантелей въ продолженіе лѣта справляли вотъ какую работу: подрядились они съ дядей Степаномъ Николаевымъ возить въ Петербургъ глину. Глину эту или песокъ, употребляемый на постройку каменныхъ домовъ, они должны были копать въ Царскосельскомъ уѣздѣ, близъ Колпина, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Невы. Для этого дядя Степанъ Николаевъ арендовалъ большую лодку, вмѣщавшую четыре кубическихъ сажени песку и платилъ за лодку въ лѣто сорокъ рублей. Арендаторъ крестьянинъ Царскосельскаго уѣзда, скупившій нѣсколько десятинъ земли, продавалъ нашимъ своякамъ и дядѣ каждую полную лодку песку за четыре рубля пятьдесятъ коп. с.; копка и возка земли производились на счетъ свояковъ и дяди. Такимъ же точно образомъ покупали у арендатора землю человѣкъ тридцать. Всего въ лѣто свояки доставили въ Петербургъ девять лодокъ. За каждую кубическую сажень дядя выговорилъ получать по семи рублей.

Жена Никиты Дарья Иванова живетъ въ кормилицахъ и получаетъ въ мѣсяцъ шесть рублей. Дома у Никиты двое дѣтей: одной дѣвочкѣ восьмой годъ, другой теперь ужъ годъ и одинъ мѣсяцъ; жена Пантелея живетъ въ кухаркахъ и получаетъ въ мѣсяцъ два рубля съ полтиной, и по фунту кофею и сахару.

Разговоръ идетъ о женахъ.

— Не залезъ *) вчера... Хозяйка совѣтуетъ остаться. Говоритъ Пантелей.

— Мало что?.. Что въ городѣ-то дѣлать? Ниъ, вишь, лытать все...

— Оно бы ничто... Тамъ-то мы все на вѣтру, чтобъ ей, энтой работѣ!.. Ну, и опять оно тоже здѣся не совсѣмъ тоже ладно... Вотъ полушубокъ надо, а сколь онъ стоитъ?.. За все деньги подай.

— Что и говорить,—сказалъ Никита съ тяжелымъ вздохомъ.

Свояки замолчали. Пантелей всталъ и вышелъ на дворъ, не одѣваясь...

Никита тоже всталъ, прибралъ вещи, т. е. затолкалъ все имущество, кромѣ лаптей и сапоговъ, подъ нары, а сапоги и лапти, не торопясь, положилъ къ столу. Затѣмъ и онъ вышелъ во дворъ.

Умывшись изо рта и утеревшись грязною тряпицею, свояки закурили трубки.

— Свою бы лодку надо завести, а то дядя что... началъ Никита.

— То-то!.. Ты-то сколь отъ Дарюхи-то взялъ?

---

*) Не засталъ.

— Я-то? Да что взялъ, все отослалъ... Тридцать ровно... да теперь еще за два причитается.

— Жизь, подумаешь!.. Вотъ что-то дядя: получитъ ли?

— То-то: все не застаетъ. Чтобъ околѣть!

Изъ кухни вышла кухарка.

— Аль не подете?

— А что?.. Дай перекусить.

— Не поспѣло. Вы не одни.

Свояки замолчали и, вздыхая, молча, стали одѣваться. Черезъ четверть часа они вышли. На обоихъ сѣрые полушубки, започиненные въ разныхъ мѣстахъ: на головахъ фуражки, на рукахъ кожаныя рукавицы; на ногахъ у Никиты сапоги, у Пантелея лапти.

Холодно, но свояки привыкли уже къ холоду, потому-что они еще только съ недѣлю, какъ кончили работы, да и можно себѣ представить жизнь на водѣ и днемъ, и ночью.

Идутъ, молча, какъ-будто имъ и разговаривать не о чемъ. Недалеко строятъ домъ; свояки поглядѣли на рабочихъ, но промолчали и не остановились. Идутъ дальше.

— А оно бы теперь ничего...

— Ежели остаться-то?.. Говорятъ, семь гривенъ даютъ за день.

— Мало-что врутъ! Опять то разочти: три дня есть работа, а недѣлю ходи... Опять тоже и не упакуешь (не угодишь).

— Что и говорить... Вотъ дома, пишутъ, озими худыя... сѣно смокло...

— Это что!.. Только, поди, я думаю, врутъ: коли бы у насъ—написали бы... А что это Яковъ говоритъ, пожалуй, что съ дури.

— Како съ дури!.. Зайдемъ?—сказалъ вдругъ Пантелей, остановившись передъ питейнымъ заведеніемъ, устроеннымъ въ подвалѣ.

— Денегъ-то, чать, не хватитъ: мало.

— Вотъ!.. Хватитъ... А?!

Пантелей началъ спускаться, за нимъ пошелъ и Никита.

Въ заведеніи, кромѣ подручнаго мальчика, никого не было! Пантелей, взявши косушку, сѣлъ къ столу и пригласилъ сѣсть и Никиту.

Выпили. Хотѣлось разговаривать, но какъ-будто не о чемъ было говорить.

— А работы теперь страсть дома-то!—сказалъ Никита.

— Не поправишься... Теперь оброкъ... А одинъ камень ломать что!

— И не говори... А все жъ вездѣ одно: что дома, что здѣсь.

— Не говори... Кабы здѣсь-то лучше...

Никита промолчалъ.

— Заботы поменѣ будетъ и все, какъ будто, ты самъ на себя робишь. Выпьемъ разѣ еще по маленькой?

— Полно!—и Никита сталъ доставать изъ-за лѣваго голенища деньги.

— Постой... успѣемъ...

— Ну?!

— Я самъ.

Пантелей расплатился, потомъ свояки пошли на Сѣнную.

Крестьяне медленно бродятъ кучками по улицѣ, по площади, кучками стоятъ на углахъ, противъ питейныхъ заведеній. Но больше всего народу собралось въ вышеозначенномъ мѣстѣ противъ гостиницы «Полтава». Тутъ человѣкъ полтораста, если не больше. Они толкутся и перехаживаютъ съ мѣста на мѣсто и обыкновеннымъ голосомъ разговариваютъ, не смѣясь. Здѣсь собрались крестьяне разныхъ волостей и разныхъ губерній. Тутъ есть судорабочіе, рабочіе мостовыхъ, фабричные рабочіе, каменщики, пильщики, плотники. Собрались они потому, во-первыхъ, чтобы отыскать земляка, во-вторыхъ, узнать новости, въ-третьихъ, узнать, кто и почемъ работалъ, сколько выручилъ, и четвертое, самое главное, дождаться расчета, т. е. посланнаго за деньгами.

— Здорово! нѣтъ ли нашихъ?—снявъ фуражку, спросилъ толпу Никита.

— Рязанскіе али калужскіе?

— Осташевскіе, тверскіе. Песокъ возили.

— Такихъ нѣту, такіе-вонъ!—сказалъ одинъ крестьянинъ въ новомъ полушубкѣ и новыхъ сапогахъ.

— Почемъ робили?—спросилъ Пантелей.

— По рублю, гляди! а что?—сказалъ улыбаясь человѣкъ, въ новомъ полушубкѣ и новыхъ сапогахъ.

— То-то! А полушубокъ-то знатный... Почемъ?

— Не зарься—продаю! восемь далъ, за восемь съ косушкой уступлю.

Толпа хохочетъ.

— Слышали: наборъ?—сказалъ кто-то.

— Чево? — спросили нѣсколько голосовъ и придвинулись поближе къ сообщившему вѣсть о наборѣ.

— Вѣрно. Газету парень показывалъ: велѣно четыре человѣка съ тысячи.

— Ну, мы не пойдемъ.

— Тебѣ что: у те братъ староста... А не вретъ парень-то?

— Чево вретъ—увидишь самъ... А вонъ Петруха-то. Петруха?! — крикнулъ говорившій, привставъ на пальцы ногъ.

Къ говорившему подошелъ молодой крестьянинъ, уже изрядно выпившій.

— Откупаться будешь, али нѣтъ?

— Все одно ужъ не воротишь! Али я не гвардія?

Молодой крестьянинъ былъ высокаго роста.

— Не спейся!!

— Ты не дразни! — крикнулъ молодой крестьянинъ и, повидимому, осерженный ушолъ въ толпу.

Свояки ушли тоже въ толпу, разыскали крестьянъ Тверской губерніи; нашли тамъ работавшихъ на лодкахъ, разговорились о томъ, что вотъ ужъ полторы недѣли не могутъ получить денегъ, а деньги очень нужны, потому надо оброки вносить, да и надо же чѣмъ-нибудь и семейству жить цѣлую зиму. Многіе находились въ работникахъ;

*

но никто не говорилъ, сколько ему причитается получить, а говорилъ только: «маловато». Оставаться въ Петербургѣ никому не хотѣлось, потому что Петербургъ никому не нравился, потому что, какъ говорили, въ немъ «страсть житье!»

Въ ожиданіи хозяевъ, у которыхъ однодеревенцы работали, и посланныхъ отъ артели товарищей за полученіемъ денегъ, крестьяне заходили въ питейныя заведенія, которыя то разомъ наполнялись, то разомъ опустѣвали; въ заведеніяхъ толкались или сидѣли подмастерья или съ сапогами, или фуражками, или чѣмъ-нибудь. Выпивъ, крестьяне выходили и покупали у пирожниковъ пироговъ и, если пирогъ попадался съ яицами, то говорили:

— Важно! Пирогъ-то только безъ масла.

А если съ говядиной, то:

— Ну ужъ и пирогъ! костей-то что?

— Заважничалъ, братъ! Смотри, много ли донесешь денегъ-то домой, замѣчалъ скороговоркой торгашъ. Мало-по-малу изъ питейныхъ заведеній стали слышаться пѣсни; оттуда начали выходить пріятели подъ руку и, махая руками, несвязно ругали всѣхъ; пройдя немного, они останавливались, а нѣкоторые снова заходили въ заведенія. Въ одномъ мѣстѣ у панели лежалъ крестьянинъ и никакъ не могъ встать. Его началъ было поднимать другой—но тоже свалился. Ихъ окружили человѣкъ десять крестьянъ и долго хохотали надъ ними, а такъ какъ народъ ходитъ на Сѣнную преимущественно за дѣломъ, то кромѣ десяти крестьянъ никто не обратилъ вниманія на пьяныхъ.

Пантелей остался въ толпѣ и разсказывалъ, какъ онъ работалъ; а Никита пошелъ къ женѣ.

— Здорово живете!—сказалъ онъ хозяйкѣ-барынѣ. Жена ему только слегка кивнула головой и даже не подошла къ нему: она держала ребенка.

— Ну, что же ты не оставляешь Дарюху-то?—спросила барыня, которая собиралась ѣхать за пятьсотъ верстъ, такъ какъ мужъ ея получилъ тамъ должность.

— Нѣтъ!.. какъ хотите.

— Она соглашается.

— Не пущу... Дома тоже ребята... Опять: она тосковать станетъ.

— Глупости! Вѣдь не тоскуетъ же она теперь, да и она оставила же маленькаго ребенка дома.

— Нѣтъ, ужъ какъ хотите, не пущу... Дома работы много... Холсты надо ткать... мало ли что?

— Да вѣдь она можетъ и здѣсь купить холста и нашить вамъ рубашекъ.

— Нѣтъ ужъ... Кабы я... Нѣтъ, нельзя.

— Однако вѣдь она зарабатываетъ деньги? А дома получитъ ли она столько?

— Какія это деньги!

— Какъ какія? Вѣдь ты два мѣсяца—февраль и мартъ, на ея деньги жилъ.

— Я не поѣду въ деревню...—сказала Дарья мужу.

— Смѣй!.. вытребую.

Барыня велѣла Дарьѣ поставить самоваръ, угостить чаемъ мужа. За чаемъ мужъ и жена разговаривали о домашнихъ; жена говорила мужу, что она осталась бы, потому что ребенка стали было отнимать отъ груди, онъ захворалъ и ей такъ жалко стало его, что она разъ даже плакала. Но мужъ стоялъ на своемъ и попросилъ денегъ.

Отдавая Никитѣ деньги, барыня опять спросила его:

— Такъ не отпустишь, если я и прибавлю рубль? И сослалась на свои недостатки.

— Не могу: мнѣ будетъ скучно... И что за жизнь розно?.. Что родня-то, свекоръ-то что скажетъ?.. Вонъ Татьяна не пошла домой-ту, что стали разговаривать? а и мѣсяца не прошло, какъ мужъ ушедши въ деревню, она и лишилась мѣста... Билась долго, а тутъ наши мужики стали примѣчать—въ баловство пустилась.

— Ну, а я этого не сдѣлаю. Вѣдь ты деньги получалъ исправно?

— Объ этомъ что и говорить.

— Ну, я и буду посылать тебѣ каждый мѣсяцъ, и потомъ, если она не захочетъ жить, я дамъ ей прогоны,—сказала барыня.

— Нѣтъ ужъ, воля ваша. При себѣ лучше, а по заглазамъ что!.. Дѣло крестьянское, не подходящее.

— Въ такомъ случаѣ вотъ тебѣ контрмарка изъ полиціи на полученіе адреснаго билета изъ экспедиціи. Раньше дворники не принуждали меня брать адреснаго билета и она считалась на квартирѣ, а наши дворники сдѣлали это и дали мнѣ эту бумажку назадъ тому мѣсяцъ. Деньги я внесла, была два дня назадъ тому въ экспедиціи—не готовъ еще билетъ. Такъ ты потрудись принести его мнѣ.

— Куды жъ я съ адреснымъ-то?

— Мнѣ принеси, а я отдамъ для прописки въ кварталъ.

— Какъ же въ деревню-то?.. Въ спидиціи-то долго держатъ: мнѣ два мѣсяца писали.

— Нельзя же. Вѣдь я не виновата.

Никита, сказавъ, что и ему надо выручать изъ экспедиціи свой паспортъ, взялъ контромарки—попытать счастья.

Вышелъ Никита изъ дому на панель и сталъ считать деньги: двѣнадцать рублей.

Идетъ подмастерье въ длинной, на подобіе татарской, рубахѣ и въ черномъ фартукѣ и толкаетъ локтемъ Никиту. Никита глядитъ на подмастерья, тотъ стоитъ и вдругъ говоритъ:

— Пополамъ вмѣстѣ!

— Я тѣ!.. Ты что?

— А такъ ты... го-ро-довой!! — вопитъ подмастерье.

Народъ останавливается, окружаетъ Никиту и подмастерья. Никита не можетъ сообразиться.

— Иду это я и замѣчаю, что-то лежитъ на панели, онъ наклонился, я вскокъ, только хочу взять, онъ и схватилъ и толкнулъ меня...—говоритъ скороговоркой подмастерье.

— Ну вотъ!.. подлый ты человѣкъ,—проговорилъ Никита.

— Онъ говоритъ: подлый... Заслышите... Къ

мировому судьѣ приглашаю, господа,—юлитъ подмастерье.

— Охъ ты свинья!.. Да знаешь ли ты: чьи это деньги-то?—крикнулъ Никита.

— Въ чемъ дѣло? въ чемъ дѣло?—спросилъ скороговоркой, подскочившій вдругъ какой-то франтъ въ очкахъ, надо быть какой-нибудь фельетонистъ, такъ что толпа разступилась.

— Я, значитъ, былъ у жены... она живетъ въ мамкахъ вотъ въ этомъ домѣ,—и отъ ея хозяйки получилъ за два мѣсяца двѣнадцать цѣлковыхъ, вонъ энти самые...

— Ты говоришь, хозяйка?—спросилъ франтъ, поправивъ очки.

— А нешто она чортъ?—взъѣлся Никита.

Между тѣмъ подошелъ городовой.

— Позвольте... Надо удостовѣриться... Это такой случай, который я опишу въ газетѣ... Это неблагородно. Пойдемте къ хозяйкѣ его жены,—говорилъ важно франтъ.

Ватага, состоящая изъ городового, дворника, который доказывалъ городовому, что въ такомъ-то № квартиры живетъ кормилица и что онъ даже видалъ этого крестьянина въ квартирѣ, господина въ очкахъ, двухъ свидѣтелей, какихъ-то любителей приключеній и подмастерья, предводительствуемая Никитой, вошла въ квартиру барыни, у которой жила жена его.

Городовой, свидѣтели и дворникъ, удостовѣрившись въ справедливости словъ Никиты, хватились вдругъ подмастерья—нѣтъ, а вѣдь шелъ вмѣстѣ...

— Эдакой подлецъ, какъ онъ одурачилъ насъ всѣхъ! Извините, мадамъ!—проговорилъ франтъ и при послѣднемъ словѣ расшаркался.

— Ничего, ничего,—говорила барыня.

— Я непремѣнно въ газетѣ статью напишу. Вы въ деревню ѣдете?—спросилъ вдругъ франтъ Никиту, но барыня не дала отвѣтить изумленному отъ всѣхъ этихъ сценъ Никитѣ.

— Я васъ прошу не печатать этой пустой исторіи.

— Но, однако... однако...—заегозилъ франтъ и поспѣшилъ выйти, а на крыльцѣ что-то писалъ, за нимъ тоже всѣ вышли, кромѣ Никиты, котораго хозяйка уговорила отобѣдать.

На квартирѣ, гдѣ жилъ Никита, дома не было никого. Кухарка Ѳедосья сказала, что съ самаго утра, кромѣ двухъ маляровъ, никто не приходилъ. Запечалился Никита. Главное мучитъ его то, куда ему дѣть деньги? Потому что разъ, получивши отъ жены десять рублей для того, чтобы отослать ихъ домой, онъ засунулъ за голенище кошелекъ съ деньгами, который былъ обернутъ еще тряпкой, но подвернулся пріятель, пригласилъ выпить водочки; и выпилъ-то онъ, кажется, немного, да только деньги, какимъ-то манеромъ, къ другому утру исчезли изъ сапога... Дома дѣлать нечего, тянетъ на улицу, да еще, пожалуй, какой-нибудь землякъ зайдетъ и пригласитъ «чайку попить», т. е. водочки. Кромѣ того надо искать дядю, а то онъ, красное солнышко, пожалуй, ухнетъ всѣ денежки. Не даромъ же они у него съ Пантелеемъ, почти что рабочіе: онъ ходокъ, и въ деревнѣ выстроилъ новый домъ съ двумя половинами. «Лишь бы его сцапать, да деньги отнять». А гдѣ искать его какъ не на Сѣнной.

Идетъ Никита на Сѣнную Садовой улицей. Свѣтло еще, но народу идетъ меньше. Трескъ отъ экипажей, вслѣдствіе узкости улицы и каменной мостовой, такой, что слова громкаго не разслышишь, къ тому же прошли по чугункѣ впередъ и обратно кареты желѣзно-конной дороги. Пьяныхъ на Садовой не видать. Завернулъ Никита направо въ Спасскій переулокъ; прошелъ мимо вѣсовъ—на одной доскѣ вѣсовъ положено гирь двадцать, другая высоко поднялась; площадка пуста, въ питейныхъ заведеніяхъ меньше прежняго крика, плясокъ, но публика тамъ сидящая говоритъ уже кое-какъ... Вошелъ Никита въ одно питейное заведеніе, находящееся за «Полтавой». Табачный махорочный дымъ, какъ изъ худой печки, наполнялъ конуру; онъ неясно увидалъ три фигуры, осмотрѣлъ ихъ—не наши. Въ другомъ пляска. Въ третьемъ онъ встрѣтилъ однодеревенца Петра, тотъ сказалъ, что дядя шлялся по двумъ кабакамъ и былъ съ нимъ, Петромъ, похвалялся, что онъ получилъ малу толику отъ купца и вдругъ ни съ того ни съ сего назадъ тому часъ времени ушелъ вонъ въ энту штуку. (Петръ указалъ на одну гостиницу).

— А хошь умѣстя?—вызвался Петръ.

— Ладно, пойдемъ, другъ... Надо выручать.

Утромъ свояки получили разсчетъ отъ дяди, сходили въ баню... По ихъ соображеніямъ они не дополучили по семи рублей съ полтиной. Оказалось, что каждый изъ нихъ вчера пропилъ два рубля серебромъ съ копейками, и оба они не могли понять, какимъ это образомъ случилось, и называли глупостью свою гулянку. Степанъ Николаевъ плакался на то, что онъ пропилъ чуть ли не три рубля.

Никита и Пантелей купили себѣ сапоги и полушубки, покутили еще, только не на Сѣнной, а въ простой харчевнѣ и пошли выручать паспортъ. Велѣли приходить на другой день. Подошелъ Никита къ загородкѣ, гдѣ получаются адресные билеты. Адресные билеты лежатъ кучами, загородку окружили двѣнадцать человѣкъ, держа каждый наготовѣ или №№ адреснаго билета или контрмарки квартала. Дарюхѣ не былъ готовъ билетъ.

— Въ деревню ѣду,—сказалъ Никита неловко.

— Ну и поѣзжай,—говорятъ ему,—а она и здѣсь проживетъ.

— Не рука!

— Такъ нельзя?—спросилъ Никита, вертя въ рукѣ контрмарку.

— Черезъ два дня приходи... Можешь, когда время—штрафу не будетъ.

Прошло три дня,—прожили по полтиннику. Идетъ опять Никита въ адресную экспедицію.

На адресномъ билетѣ написано «Дарья Иванова», а на контрмаркѣ квартала «Дарья Замуленева».

— Какъ твоя фамилія?

— А Богъ ее знае... По пашпорту гляди... А что Замуленева—враки!

Въ паспортѣ жены сказано: «Дарья Иванова замужняя».

Кое-какъ Никита выручилъ билетъ.

Мужья живутъ съ женами. Мужья нарядились въ новые сапоги, фуражки, женщины надѣли на головы платки, накупили ситцу рубля на три. Какъ мужчинамъ, такъ и женщинамъ скучно, потому-что зимою дома предвидится много работы. Больше всѣхъ скучаетъ Дарюха.

— Никита, чайку бы?

— Поди ты. Не напилась еще!

— Самъ такъ пьянствуешь только; всѣ деньги отъ меня отобралъ! Вѣдь сорокъ два цѣлковыхъ я тебѣ дала.

Никита отзывается тѣмъ, что онъ деньги отослалъ домой, но при этомъ вздыхаетъ и съ жалостью смотритъ на жену, которая начинаетъ его корить тѣмъ, что у него нѣтъ ничего, а она, бывши кормилицей, жила барыней.

— Не хошь ли утечь!.. Ребятъ-то, видно, не жалко! — ворчитъ Никита и идетъ съ пріятелями въ кабакъ, говоря, что они пошли искать работы, а Дарюха со своячиной идутъ на Сѣнную, останавливаясь передъ магазинами.

— А остаться бы?—говоритъ Дарюха.

— Что съ ними, мужиками, сдѣлаешь?.. А тоже жизнь-та моя была—бѣда!

— Ну и моя не лучше—все дѣлала.

Своячины разговариваютъ о своихъ хозяевахъ и о томъ, какъ онѣ удивятъ своихъ подругъ нарядами.

— И ходить-то мы научились иначе!

— Небось, Питеръ выучитъ, особливо по лѣстницамъ.

Наконецъ, и свояки собрались съ женами въ путь. Теперь ужъ они казались гораздо бодрѣе и веселѣе, чѣмъ въ то время, какъ пріѣхали на заработки, да и въ самой одеждѣ замѣчалась перемѣна. Теперь мужчинамъ совѣстно было ѣхать въ лаптяхъ, въ оборванномъ полушубкѣ. Правда, на женщинахъ были тѣ же шугайчики, но зато на ногахъ новыя ботинки, на головахъ полушапки, платки, купленные въ Питерѣ.

Передъ отъѣздомъ къ своякамъ приходило много пріятелей, которые оставались въ Питерѣ, и безъ угощенія дѣло не обошлось, такъ-что свояки пришли въ вокзалъ желѣзной дороги въ первомъ часу и тамъ до вечера выспались. У Никиты оказалось денегъ 12 рублей, а у Пантелея только семь.

Народу много. Всякому хочется скорѣе попасть въ загородку, многіе берутъ билеты на двухъ и на трехъ человѣкъ, но каждаго масса народу оттѣсняетъ назадъ. Такъ Никита попалъ въ загородку уже послѣ второго звонка и какъ только взялъ билеты, позабывъ обо всемъ на свѣтѣ, побѣжалъ на платформу. Но въ его полушубокъ вцѣпилась его жена и жена Пантелея съ крикомъ:

— Никита! Пантелей-то гдѣ?

— Пантелей!—кричалъ Никита.

— Животъ заболѣлъ у него,—сказала Дарья и засмѣялась.

— Останется! Ахъ бѣда!

— Иди! иди! что встали!!—понуждалъ Никиту и бабъ жандармъ.

Они вошли въ вагонъ. Никита высунулся изъ окна и кричалъ:

— Пантюха!! останешься!!

Знакомые прощаются другъ съ другомъ.

— И дернуло же его! Животъ, говоритъ... Ахъ бѣда!—ворчитъ Никита.

Раздается третій звонокъ... Поѣздъ тронулся. Вдругъ на платформу вбѣгаетъ Пантелей.

— Никита!!—кричитъ въ конецъ растерявшійся Пантелей.

Публика хохочетъ.

— Бѣги!! Догоняй!!—кричатъ Пантелею крестьяне изъ оконъ вагоновъ; поѣздъ идетъ скорѣе и скорѣе и, наконецъ, исчезаетъ.

— А-ахъ ты! Горе мое!! — говоритъ отчаянно Пантелей и, снявъ фуражку, скоблитъ отчаянно голову правой рукой.

— Дуракъ! пропьянствовалъ?—говоритъ кто-то.

— Вѣдь учалось!! Не догонишь... Животъ—чтобъ яму!!—отчаянно говоритъ Пантелей.

— Пошолъ!—гонитъ Пантелея сторожъ.

Пантелей съ ужаснымъ горемъ и тоской выходитъ на Знаменскую площадь, останавливается и долго стоитъ, не зная, что ему дѣлать. Уличный шумъ начинаетъ его злить, и онъ идетъ въ питейное заведеніе.

Прокопьевна.

Разсказъ.

По трактовой дорогѣ, проходящей черезъ Желѣзнинскій заводъ, почти на самомъ краю стоитъ новенькій деревянный трехъоконный домъ. Этотъ домъ рѣзко отличается отъ другихъ своею наружностью: по сторонамъ его стоятъ дома черные, ветхіе, съ высокими крышами, а этотъ домъ стоитъ какъ бравый городовой передъ своимъ начальникомъ, и улыбается, глядя по сторонамъ; въ окнахъ стекла не перебиты, ставни расписныя, фундаментъ, состоящій изъ каменныхъ плитокъ, сложенъ лучше другихъ, крыша невысокая, и на трубѣ горшка нѣтъ, какъ у прочихъ домовъ, и даже самаго главнаго нѣтъ: казенной дощечки надъ окнами, съ цифрами, означающими годъ постройки дома, — какъ это красуется на каждомъ домѣ Желѣзнинскаго завода. Ни одинъ проѣзжающій, если только онъ не спитъ, не проѣдетъ такъ, чтобы не подумать: «а этотъ домъ игрушка» и не спросить ямщика: «а чей это домъ?» Или сами ямщики скажутъ: «А вотъ домъ, такъ домъ! И хозяйка-то мастерская вдова. Зовутъ ее Прокопьевной, и другого названья ей нѣтъ. И какіе она калачи продаетъ! Баринъ, дозволь калачикъ купить».

— А остановись-ка; попробую и я ея калачей.

— Калачи—это что... а вотъ она пиво про-

даетъ... Важнецкое. Нигдѣ, должно быть, нѣту-ка такого пива.

И бѣгутъ ямщики за калачами, да и замѣшкаются, а какъ придутъ къ проѣзжающимъ и начинаютъ расхваливать калачницу.

— Славное это у нея пиво... На три копейки дернулъ, а вотъ ужъ и по сердцу пошло.

Проѣзжающій жалѣетъ, что онъ не можетъ пить деревенское пиво, ѣдетъ дальше, откусываетъ калачъ, жуетъ и отдаетъ его ямщику.

— Дрянь, братъ, твоя Прокопьевна продаетъ; самъ ѣшь. А потомъ думаетъ: мошенники эти ямщики: выпить захотѣлъ и расхвалилъ бабу. На закуску-то у него нѣтъ денегъ, вотъ онъ и посовѣтовалъ мнѣ калачъ купить.

Во всемъ заводѣ всѣ, начиная отъ ребятъ, знаютъ домъ Прокопьевны, несмотря на то, что въ заводѣ семьсотъ домовъ. Если матери посылаютъ куда-нибудь далеко ребятъ, то говорятъ имъ: пройдите Прокопьевны домъ, или: идите за уголъ, наискосокъ Прокопьина дому. Слово Прокопьевна не рѣдкость услыхать въ разговорахъ рабочихъ: «ты боекъ, какъ Прокопьевна; у тебя носъ расшеперился, какъ у Прокопьевны; только одной Прокопьевнѣ все сходитъ: она только со всѣми споритъ да ругается».

Да, интересная эта Прокопьевна. Зайдемте сперва во дворъ ея, а потомъ и въ ея обитель.

Дворъ у нея большой, крытый навѣсомъ; съ деревяннымъ поломъ. Налѣво, у заплота, стоятъ двѣ длинныя полѣнницы сосновыхъ и березовыхъ дровъ: недалеко отъ нихъ въ уголку сдѣланъ колодецъ. Между погребомъ и жильемъ — лошади, коровы, свиньи и куры; противъ дверей въ огородъ, по правую руку, стоитъ телѣга росписная, похожая на коробъ, по лѣвую—маленькія сани. И все какъ-то въ этомъ дворѣ хорошо прилажено, прибрано, чисто, точно хозяйка надо всѣмъ сама приглядываетъ. А сосѣди ея говорятъ, что Прокопьевна даже щепкѣ во дворѣ не даетъ залежаться, она и щепку приберетъ на мѣсто. Изба у нея большая, въ два окна. Какъ въ ней, такъ и въ небольшой горенкѣ чисто, съ тою только разницею, что въ горенкѣ на полу половики посланы и приколочены по угламъ маленькими гвоздиками; въ горенкѣ какъ-то веселѣе. Ни въ избѣ, ни въ горенкѣ нѣтъ такого сору, вони и безпорядковъ, какъ въ другихъ домахъ.

Сама Прокопьевна уже старуха. Низенькая, горбатая, она очень бойка, очень голосиста. Говорятъ, что она сидитъ рѣдко, а все бѣгаетъ, суетится, всегда найдетъ работу, и это больно удивляетъ молодыхъ заводскихъ щеголихъ. Говорятъ, она даже десяти человѣкамъ можетъ отвѣтить не запинаясь, и ни одного слова не пропуститъ мимо ушей. Она никого не боится и самому управителю никогда не кланяется первая и никогда въ полиціи не сидѣла. Маленькія ребята не боятся ея такъ, какъ боятся другихъ старухъ, и скажи только что-нибудь Прокопьевна или пошли котораго-нибудь изъ нихъ куда-нибудь, — безъ отговорокъ пойдутъ. Такъ-что заводскія бабы завидуютъ Прокопьевнѣ: «вѣдь вотъ ихъ лѣшаковъ, никакъ не протуришь, куда нужно, а скажи Прокопьевна— летитъ. Удивительная эта баба».

Мастеровые называютъ Прокопьевну, шутя, штучкой, и она нисколько не обижается этимъ; напротивъ, такое названіе ей нравится, и она смѣясь отвѣчаетъ: То-то братецъ ты мой! Ты бы и хотѣлъ быть штучкой, да разсудку у те нѣту-ка.

На это ей замѣчаютъ: ужъ что ты выдумала, намъ выдумывать нечего: опоздали! А вѣдь, братцы, всякъ изъ насъ то же бы сдѣлалъ на ея мѣстѣ.

— То-то что вы штуки, а я штучка,—замѣчаетъ Прокопьевна мастеровымъ, и мастеровые хохочутъ до слезъ отъ остроумія Прокопьевны.

У Прокопьевны, какъ и слѣдовало, былъ мужъ; но она жила съ нимъ меньше года. Человѣкъ онъ былъ здоровый, да ему въ рудникѣ оторвало одну ногу, а другую тяжело ранило, и онъ три мѣсяца слишкомъ вылежалъ дома. Прокопьевна любила его и ни за что не хотѣла отдать его въ госпиталь, думая, что тамъ его совсѣмъ измучатъ, а ей хотѣлось, чтобы онъ жилъ.

Тяжело было ей смотрѣть на больного мужа, слышать его стоны, сердце надрывалось отъ стоновъ мужа, голова точно лопнуть хотѣла отъ думъ: что съ ней будетъ, если онъ умретъ... А объ рыданіяхъ и говорить нечего. Жили они бѣдно, и хотя ей бы достался домъ послѣ мужа, но отъ этого не легче, потому-что нужно же ѣсть что-нибудь, на это нужны деньги, а откуда ихъ достанешь? Она только и умѣетъ стряпать, варить, хозяйничать, кое-какъ шить и вязать; а тутъ еще она беременна. Сосѣди приходили провѣдывать ея мужа или узнать: не умеръ ли онъ, скоро ли онъ умретъ? и между охами да вздохами говорили ей: «Что-то, матушка, ты дѣлать станешь? Гляди, ребенка родишь». Молодыя бабенки говорили свое: въ городъ иди, тамъ принимаютъ бѣлье стирать да полы мыть.

Старухи качали головами и говорили: «прибудетъ еще одной нищенкой». День-ото-дня мужу становилось хуже, день-ото-дня мучилась она, глядя на гніющаго человѣка, выла и ничего не дѣлала. Еще сосѣди были добры: приносили ей хлѣба, щей, да она кое-какъ съ коровенкой управлялась. Мужу тоже жалко было жену, и онъ часто говорилъ ей:

— Прокопьевна... Не реви: умру—замужъ выйдешь.

Лучше этого онъ ничего не могъ сказать.

Умеръ онъ. Прокопьевна не плакала, а ворчала: Вотъ какъ изувѣчили человѣка! Цѣлыхъ чуть не четыре мѣсяца лежалъ, а изъ-за чего? хоть бы выздоровѣлъ... Черти!

— Ну, рехнулась! говорили мущины, а женщины стали ждать: что-то сотворитъ Прокопьевна.

Прошла недѣля. Вдругъ идетъ утромъ баба по воду и глядитъ: около дороги противъ своего дома сидитъ Прокопьевна съ калачами.

— Господи благослови! что ты это?—удивилась баба и ткнула ладонью подъ платокъ, который былъ надѣтъ на ея головѣ.

— Ничего. Калачи продаю.

— Каки калачи?

— Въ городѣ съ мужемъ была одново разу, видѣли эти фитулины. Думаю, дай продавать буду проѣзжимъ осподамъ да мужикамъ.

Это удивило заводскихъ бабъ, какъ новость, и онѣ для того, чтобы удостовѣриться: правда ли, что Прокопьевна торгуетъ, попеременно всѣ переглядѣли и переспросили ее. Многимъ даже досадно сдѣлалось, что Прокопьевна даже не посовѣтывалась съ ними; нѣкоторыя даже съ неудовольствіемъ замѣтили:

— Мужъ-то едва закалѣлъ, а она поди жъ ты!

Толки про Прокопьевну пошли по всему заводу, и въ каждомъ домѣ про нее толковали различно. Одни мущины не возмущались этимъ и упрекали бабъ тѣмъ, что у нихъ никакого разсудка нѣтъ, и имъ непремѣнно надо занять ума на пятакъ у Прокопьевны.

А Прокопьевна торгуетъ себѣ съ самаго утра до вечера: утромъ вынесетъ въ рѣшетѣ калачи, а вечеромъ вытаскиваетъ изъ рѣшета гроши, копеечки, трехкопеечники. Покупателей хоть и было немного, но все-таки они были. Баре не покупали калачей, а покупали ямщики, которые везли по тракту кладь, и бѣдные проѣзжающіе, а такъ какъ она сидѣла на бойкомъ мѣстѣ, то у нея первой и покупали калачи, а потомъ эти калачи стали покупать въ праздники заводскіе ребята, мастеровые.

Заводскія бабы завидовать стали Прокопьевнѣ, потому, во-первыхъ, что она добывала деньги, а во-вторыхъ, ее стали хвалить ямщики. Двѣ бабы сунулись сами торговать калачами, да у нихъ не хватило терпѣнія сидѣть на улицѣ ждать покупателей; онѣ часто бѣгали въ дома, а такъ какъ мужья видѣли, что бабы только понапрасно муку переводятъ, то приказали имъ не дурить на томъ основаніи, что онѣ не Прокопьевна. Послѣ этого бабы пуще стали посмѣиваться надъ Прокопьевной, называли ее уличной бабой и ждали, что-то будетъ, когда она родитъ.

Скоро стали замѣчать, что Прокопьевна не сидитъ на улицѣ, и затѣмъ всѣ узнали, что Прокопьевна родила парня. Бабы обрадовались. Опять толки по всему заводу; ни одна женщина ни въ чемъ не хотѣла помочь ей. Если онѣ и приходили къ ней, то смѣялись.

— Ну что, Прокопьевна, не пекешь ужъ теперь калачи-те?

— Ахъ, вы дуры! Видите я хвораю. Дайте вы мнѣ хоть воды-то напиться, проклятыя.

— Далеко, матка-свѣтъ, бѣгать-то. Ребенокъ, поди, оретъ дома.

— Погодите вы, думаетъ Прокопьевна: я еще не такъ удивлю васъ.

Полторы недѣли не могла Прокопьевна стряпать. Въ это время не одинъ ямщикъ заходилъ къ ней.

— Ну что, скоро ли Богъ-то помилуетъ? Калачи-то у те больно баскіе.

— Погодите ужо; поправлюсь, пиво буду варить.

— Это ты умно выдумала. Дай Богъ тебѣ поскорѣе поправиться. Озолотимъ мы тебя, Прокопьевна.

Прошелъ мѣсяцъ, а Прокопьевна не продаетъ на улицѣ калачей. Бабы думали, что она поумнѣла, только ихъ опять удивило то, что надъ однимъ окномъ между двухъ бревенъ вбита зачѣмъ-то деревянная лопатка безъ черна. Оказалось, что Прокопьевна продаетъ калачи на дому, и какъ которая женщина ни придетъ къ ней, всегда застаетъ мущинъ-ямщиковъ,—и что же!—ямщики у нея пиво и брагу дуютъ...

Это просто чуть съ ума не свело заводскихъ бабъ. Заголосили онѣ въ каждомъ домѣ, стали обзывать ее всячески, а мастеровые посмѣиваются.

— А вотъ мы попробуемъ ея пивка.

— Коли пиво забористое, наплевать и на водку.

И стали ходить къ Прокопьевнѣ мастеровые пиво пить. Не нахвалятся! А бабы хуже злятся: мужья своимъ пивомъ брезгуютъ, и если въ праздники нѣтъ долго дома мужей, онѣ уже догадываются, что мужья непремѣнно у Прокопьевны. И какъ онѣ ни старались отучить мужей ходить къ Прокопьевнѣ, ничто не помогло. Прокопьевна стала такая штука, что къ ней такъ и тянетъ мужчинъ. Соберется ихъ много, возьмутъ они ведро пива и сидятъ передъ нимъ часа по три, толкуя о разныхъ разностяхъ, а Прокопьевна всѣмъ угодить старается, угощаетъ, суетится, споритъ, совѣты даетъ... И сами рабочіе такъ привыкли къ Прокопьевнѣ, что и въ кабакъ перестали ходить, говоря: «лучше лишній жбанъ пива или браги у своего человѣка выдуть, чѣмъ эту вонючку пить; оно же и дешевле. А ежели она и присчитываетъ временемъ на насъ лишнія копейки, такъ наплевать: за одно веселье ей бы слѣдовало брать съ насъ».

Кабакъ въ заводѣ былъ одинъ, и его содержалъ откупъ. Несмотря на то, что Прокопьевна продавала много пива и браги, въ кабакахъ пьющіе водку всегда были; но съ тѣхъ поръ, какъ завелось это пиво, ямщики въ кабакъ перестали ходить, а это много значило.

Бабы стали сплетничать пуще и пуще на Прокопьевну; откупъ сдѣлалъ обыскъ у Прокопьевны, и двѣ корчаги пива было пролито на улицу, а съ Прокопьевны взыскали «дикую пошлину». Но эта строгость только насмѣшила ямщиковъ и рабочихъ, объ ней толковали долго по всему заводу, распространился слухъ, что водку продаютъ съ мухоморами, и Прокопьевна попрежнему стала торговать пивомъ и брагой, храня ихъ въ сараѣ въ сѣнѣ, и полиція, несмотря на пѣсни и пляски рабочихъ и ямщиковъ въ домѣ Прокопьевны, ничего подозрительнаго не находила у нея и удивлялась ея ловкости...

Такъ она и перебивалась изо дня въ день много лѣтъ. Выросъ сынъ и сталъ ей хорошимъ помощникомъ. Онъ еще въ дѣтствѣ пристрастился къ ямщичьей жизни и теперь считается за честнаго ямщика. Вотъ съ помощью его она и выстроила такой домъ. Ямщики совѣтуютъ открыть ей постоялый дворъ, да она еще не накопила столько денегъ, чтобы заняться этимъ промысломъ, а сынъ имѣетъ всего двѣ лошади.

Всѣ тѣ, которые посѣщаютъ ее, не нахвалятся ею. Главное, она не чванливая и вѣритъ на честное

слово. Если у рабочаго нѣтъ денегъ, она угощаетъ его въ долгъ и не стоитъ за тѣмъ, что онъ ея же пивомъ товарищей угощаетъ и безцеремонно обращается съ ней; если у рабочаго нѣтъ денегъ и онъ прежде хорошо ей платилъ—она и даромъ угощаетъ его. Это-то вотъ и нравится всѣмъ, и всѣ хвалятъ ее: славная эта Прокопьевна; только ровно у нея и весело. А будь она помоложе, еще бы знать-то веселѣе было.

Теперь въ заводѣ много настроено кабаковъ, и пьянство усилилось больше, но никто такъ хорошо не торгуетъ, какъ Прокопьевна. На что солдаты,—и тѣ стали было ходить къ ней, да поворовывать начали, она и не пускаетъ ихъ.

Все бы это хорошо, да нашелся изъ заводчанъ врагъ. Этому человѣку завидно стало, что Прокопьевна давно и хорошо пивомъ торгуетъ: вотъ онъ и открылъ кабакъ противъ ея дома, а на дверяхъ картинку нарисовалъ: корчагу и жбанъ съ пивомъ. За это чуть не всѣ рабочіе напали на новаго торгаша. Онъ сталъ жаловаться полиціи, полиція взяла и съ него, и съ Прокопьевны дань, но Прокопьевнѣ запретила торговать пивомъ и калачами. Бабы заводскія очень не любили кабаки и теперь на Прокопьевну смотрѣли съ снисхожденіемъ. Онѣ цѣлый мѣсяцъ голосили противъ того, что Прокопьевнѣ не слѣдуетъ запрещать торговать калачами и пивомъ, и ихъ едва успокоили мужья, сказавъ, что Прокопьевна не пропадетъ. И дѣйствительно она самому «енаралу» жаловалась—дозволилъ калачи продавать.

Визави не знаетъ, что и дѣлать съ Прокопьевной. Онъ постоянно сидитъ у своего окна, и какъ завидитъ рабочаго, идущаго къ Прокопьевнѣ, крикнетъ:

— Куда ты, свинья? не видишь что ли мой кабакъ?..

— Молчи, не твое дѣло,—говоритъ рабочій и залѣзаетъ во дворъ къ Прокопьевнѣ.

Выбѣжитъ визави и грозитъ Прокопьевнѣ жалобой.

— Да ты забылъ, что ли, что я калачами торгую?—говоритъ она.

— Ну, мы это знаемъ: твоихъ гнилыхъ калачей никто никогда въ ротъ не беретъ.

Но Прокопьевна и слушать его не хочетъ.

Подъѣзжаетъ обозъ и останавливается противъ Прокопьевнина дома.

— Эй вы, идите ко мнѣ. У меня пиво отличное,—кричитъ визави и летитъ къ обозу.

— Толкуй. Мы калачиковъ купить у бабушки Прокопьевны...

— Нѣтъ, вы пиво пошли дуть. Идите, Христа ради, ко мнѣ. Говорю вамъ, превосходное.

— Ну, ну... Дожидайся,—придемъ.

Заходятъ они къ Прокопьевнѣ и хохочутъ надъ визави, а тотъ въ окно Прокопьевнина дома съ улицы подглядываетъ, кричитъ и грозитъ кулаками.

— Сожгу!—говоритъ онъ.—Вотъ тѣ Христосъ сожгу,—а самъ чуть не плачетъ.

— Ладно!—смѣются ямщики,—свидѣтелевъ-то много. А ты не хошь ли, дяденька, бражки?

Плюнетъ визави въ окно и поплетется къ своей лавчонкѣ. А ямщики и рабочіе хохочутъ.

— И выдумаетъ же человѣкъ насупротивъ итти. И то Прокопьевну хотѣлъ обижать!..

— Въ головѣ-то, вишь ты, у него крысы скребутъ.

— А вотъ мы попробуемъ: не съ табакомъ ли у него пиво-то?

Заводскія бабы теперь ужъ не болтаютъ про нее всякій вздоръ. Онѣ даже толкуютъ, что будь у Прокопьевны побольше капиталу, она бы непремѣнно всѣ кабаки закрыла; тогда ни одинъ бы мастеровой не пилъ столько водки и ни у одного мастерового не было бы такой дури, какая происходитъ отъ водки.

— Ловкая эта баба! И какъ это у нея смѣлости на все хватаетъ?

— А я смѣкаю, дѣвка, ежели ей невыгодно будетъ торговать пивомъ да калачами, она опять штуку откроетъ, да не такую, а на удивленье свѣту!—толкуютъ бабы.

— А вотъ увидимъ, — замѣчаютъ мужчины:—когда мы будетъ живы да въ силѣ — не дадимъ Прокопьевну въ обиду. Она выдумала, а наше дѣло исполнять, потому она не худое выдумала, и баба по всему заводу изъ бабъ первая по уму и тароватости, потому не одного изъ насъ изъ бѣды выручала... Самъ управитель боится ея теперь.

Глухія мѣста.

(Изъ дорожныхъ замѣтокъ).

Прошлое лѣто мнѣ, по собственной надобности, привелось жить въ нѣсколькихъ городахъ. Изъ нихъ съ нѣкоторыми я хочу познакомить читателей.

О своей поѣздкѣ по желѣзнымъ дорогамъ и рѣкамъ говорить не стоитъ. Пароходъ, на которомъ я плылъ пассажиромъ третьяго класса пять сутокъ, отмахавъ тысячи полторы верстъ, наконецъ, въ 4 часа утра остановился, но на свою пристань его не пустили: какая-то компанія распорядилась причалить баржи съ пароходомъ на чужомъ мѣстѣ. Капитанъ горячился и доказывалъ, что онъ насолитъ этой компаніи. Но намъ, пассажирамъ, до этого дѣла не было, намъ нужно было непремѣнно быть на твердой землѣ, а именно въ г. Р. Сошли съ парохода на пристань (родъ судна съ избушками по обѣимъ сторонамъ прохода). Приплывшіе суетились: нужно было извозчиковъ, а ихъ только двое съ длинными линейками. Жители Р. пошли разыскивать извозчиковъ, но я ихъ не дождался, а пошелъ.

Перемѣны въ Р. я никакой не замѣтилъ съ тѣхъ поръ, какъ я его оставилъ: тѣ же поломанныя перила, тянущіяся по спуску, тѣ же дома, тѣ же старые деревянные тротуары; только загонъ (гуляніе на берегу рѣки Дуги) немного измѣнился: деревья общипаны, земля гладко выметена платьями, устроены

лавки, кафе-ресторанъ; на фонарныхъ столбахъ красуются объявленія, напечатанныя въ двухъ типографіяхъ, объ отплытіи пароходовъ, о фотографіяхъ и даже эрмитажѣ; красуются афиши, до половины содранныя.

Въ загонѣ пусто. Тихо; ничто не щелкнетъ, никто не пикнетъ, только пароходная труба, выпуская пары, шумитъ. Зашелъ въ кафе-ресторанъ. Тамъ двое господъ играютъ на бильярдѣ.

— Что нужно?—спросилъ меня служитель.

— А выпить водки.

— Нельзя.

Въ залѣ висятъ разныя объявленія; я было хотѣлъ прочитать одно, но служитель крикнулъ: сказано, нельзя!..—Я вздрогнулъ и вышелъ.

Въ городѣ есть библіотека; за чтеніе въ ней за одинъ разъ платятъ 10 коп. сер. Читаю объявленіе—чиновники такой-то палаты отдали свои книги въ эту библіотеку. А раньше мнѣ писали, что у чиновниковъ этой палаты взяли книги въ пользу этой библіотеки. Вхожу; библіотекарь знакомый, поздоровался съ улыбкой, съ улыбкой спросилъ меня, зачѣмъ я пріѣхалъ, съ улыбкой показывалъ мнѣ шкафы...

На большомъ столѣ разложены почти всѣ журналы и газеты, шкафы полны книгами.

— Все это моимъ стараніемъ заведено... Я ночи не спалъ, чтобы только добиться этого. У насъ въ библіотекѣ теперь до 5 тысячъ томовъ... Читаютъ почти всѣ.

Потомъ онъ повелъ меня въ другія комнаты, принадлежащія, какъ говорилъ мнѣ библіотекарь, статистическому комитету, въ которомъ помѣщается и библіотека; тамъ въ шкафахъ лежали минералы и сельско-хозяйственныя произведенія.

— Съ какой это цѣлью сдѣлано?—спросилъ я библіотекаря.

— Какъ съ какой? Да вотъ хоть бы вы пріѣхали: вѣдь вы напишете въ журналѣ, что вотъ въ Р. есть и минералогическій и сельско-хозяйственный музей.

— Кто же занимается этими музеями?

— Я... я собираю вещи, какъ секретарь статистическаго комитета.

— Скажите: зачѣмъ вы отняли книги у чиновниковъ*** палаты?

— Не я... велѣли. Да и для чего имъ библіотека, коли они изъ публичной могутъ читать?

— Однако, за книги вѣдь они деньги платили, и книги хорошія.

—Однако оказалось, что книги ихнія библіотекари растаскали; да и я обѣщался имъ пользоваться изъ нашей библіотеки даромъ въ теченіе 10 лѣтъ.

Осмотрѣлъ библіотеку; старыхъ ни для кого ненужныхъ книгъ до 4,500. По губ. вѣд. значится, что среднимъ числомъ изъ библіотеки берутъ книги въ день 35 мужчинъ и 2 женщины. Но библіотекарь не знаетъ, изъ какихъ сословій больше читающихъ. Въ залѣ библіотеки двое чиновниковъ выдаютъ книги и газеты и занимаются дѣлами по статистическому комитету.

Приходитъ чиновникъ *** палаты. Проситъ новыхъ журналовъ.

— Максимъ Максимычъ не велѣлъ давать,—отвѣтили ему. Чиновникъ ушелъ. Пришелъ какой-то сторожъ съ билетомъ. Я заглянулъ въ билетъ—Совѣтнику *** палаты. Сторожу дали не разрѣзанную книгу.

Это я разсказалъ библіотекарю.

— Чиновнику не за что давать книгъ, да онъ и не стоитъ, можетъ подождать, а совѣтникъ.... Онъ не договорилъ.

Въ этотъ день былъ большой праздникъ, и вечеромъ въ загонѣ назначено гулянье. Прихожу къ загону; на перилахъ фонари висятъ; въ дверяхъ стоятъ полицейскіе и какіе-то приказчики. Въ загонѣ гуляютъ; пять человѣкъ музыкантовъ играютъ польки, кадрили.

Не пускаютъ. Билетъ на входъ стоитъ 20 коп. Купилъ. Попадается пріятель.

— Что это у васъ за праздникъ?

— Начальникъ новый пріѣхалъ, такъ ужъ кстати вѣрно...

Пріятель жаловался на скуку: мы рады не рады, что начальству вздумается утѣшить насъ; такъ у насъ три раза въ недѣлю здѣсь музыка играетъ, фейерверки бываютъ. Ну и соберемся, поглядимъ другъ на друга, и начальство съ нами ходитъ, а случается, и папиросы отъ насъ раскуриваетъ: подойдетъ эдакъ ко мнѣ и скажетъ: «братецъ! дайте пожалуйста закурить».—Цивилизація!..

Около будки балаганъ. Въ немъ аллегри. Въ объявленіи сказано, что такой-то съ дозволенія начальства зато, что онъ пожертвовалъ дѣтскому пріюту 50 руб., открылъ на лѣто аллегри: цѣна билетамъ 1 р., 50 к. и 25 к.

— Въ первое время многіе брали билеты, а теперь наскучило, и не выигрывается. Однако онъ 50 р. давно выручилъ,—объяснилъ мнѣ пріятель.

Заиграли горнисты; музыканты скрылись. Барыни и барышни точно павы плаваютъ, важничаютъ, обметая землю; городскіе франты идутъ за ними, а попадаясь навстрѣчу рисуются, барышни дѣлаютъ глазки; остальной чиновный людъ ходитъ такъ себѣ или сидитъ, или стоитъ, разговаривая о чиновникахъ. Дамы разговариваютъ о дамахъ.

— Да! Марья Степановна выходитъ... — вздыхаетъ дѣва.

— Не нашла она со своимъ воспитаньемъ жениха получше!..

Начинаетъ темнѣть. Въ загонѣ давка, душно отъ табаку, потому что нѣтъ вѣтра. По рѣкѣ тихо плыветъ пароходъ; въ немъ танцуетъ аристократія, на немъ играетъ музыка. Всѣ смотрятъ на пароходъ; всѣмъ дѣлается скучно: пароходъ точно смѣется надъ ними и заворачиваетъ...

Вошелъ въ кафе-ресторанъ — биткомъ набитъ. Рюмка водки стоитъ 8 к; показалось дорого—ушелъ.

— Городъ нашъ, несмотря на то, что онъ стоитъ на бойкомъ мѣстѣ, нисколько не подвигается впередъ. Если же что и печатаютъ о просвѣщеніи въ губ. вѣдом., такъ это вздоръ, только потѣшаются господа. Посмотри ты, сколько теперь сдѣлалось фальшивыхъ людей, срамъ! Болтаютъ, модничаютъ и, чортъ ихъ знаетъ, какъ они ведутъ себя. И

должности имъ даютъ хорошія, а денегъ нѣтъ, отъ дѣла бѣгаютъ... То ли дѣло нашъ братъ: отзвонилъ 35 лѣтъ да нажилъ домокъ, и слава тѣ Господи!.. Такъ говорилъ какой-то старичекъ молодому чиновнику.

Въ первомъ часу публики въ загонѣ было немного: это были женихи и невѣсты...

Утромъ на другой день я попросилъ родственницу сходить въ казначейство размѣнять двадцатипятирублевую. Мнѣ не хотѣлось самому итти для того, чтобы меня не узнали. Родственница воротилась и сказала: казначей не мѣняетъ; онъ мѣняетъ только знакомымъ. Прихожу въ казначейство; чиновники сразу узнали меня и обступили.

— А! Описывать? описывать насъ пріѣхалъ!—говорили со всѣхъ сторонъ.

Я краснѣлъ, не зналъ, какъ отдѣлаться отъ нихъ. Получивъ мелкія бумажки, я сталъ прощаться,— не пускаютъ.

— Пожалуйста, похлопочи, мои бумаги въ министерствѣ... заплачу!

— Да у меня никого нѣтъ знакомаго тамъ.

— Ей-Богу, заплачу! Тебѣ тамъ всѣ во всѣхъ министерствахъ знакомы.

Кое-какъ я вырвался отъ нихъ, но они еще изъ оконъ кричали мнѣ: не забудь же! не забудь!

— Я заключилъ, что если я еще недѣлю проживу въ Р.., то мнѣ покою не будетъ отъ старыхъ знакомыхъ: они рады своему товарищу, пріѣхавшему изъ столицы; закидаютъ просьбами, запоятъ и все-таки будутъ думать, что я подосланъ, опасный для нихъ человѣкъ.

Нужно было ѣхать въ Ч. На почтовыхъ ѣхать невыгодно, а такъ какъ до И. плаваетъ пароходъ, и стоитъ во 2 классѣ четыре рубля, то я поселился во 2 классѣ парохода. Каюта вмѣщаетъ шесть человѣкъ, потолокъ до того низокъ, что двухъаршинному человѣку нужно нагибаться. На пароходѣ есть буфетъ, которымъ управляетъ женщина, но въ этомъ буфетѣ не готовятъ въ постъ мясного, нѣтъ винъ, пива, а есть водка, и можно похлебать отличной ухи. За воду на чай женщина беретъ, кто сколько дастъ. Пассажировъ было немного: чиновники, мѣщане, крестьяне и духовные.

Такъ какъ пассажировъ во 2 классѣ было со мной пять человѣкъ, то мы всѣ скоро перезнакомились; меня съ ними познакомилъ чиновникъ, ѣхавшій въ Ч., съ которымъ я и условился вмѣстѣ ѣхать. Въ числѣ трехъ пассажировъ были довѣренные отъ купцовъ; они то-и-дѣло толковали о своихъ плутняхъ, о томъ, какимъ образомъ выгоднѣе нажить деньги: посредствомъ ли найма рабочихъ или сплавомъ лѣса и судовъ. Пароходъ пошелъ. Довѣренные купили водки.

— Г. сочинитель, пожалуйте рюмочку!—сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ.

— Благодарю.

— Теперь адмиральскій часъ: «Ѣдетъ чижикъ въ лодочкѣ, въ адмиральскомъ чинѣ; не выпить ли водочки, по энтой причинѣ»,—пропѣлъ онъ.

— Благодарю; я и на свои могу выпить.

А! вы въ нашей компаніи не хотите быть? А не хотите ли на палубу?

— Онъ, господа, умствуетъ: съ котораго боку начать сочинять на насъ.

— Пей!!—крикнулъ одинъ.

Нечего дѣлать, я выпилъ и повторилъ. Черезъ часъ они стали играть въ стуколку.

Въ И. мы приплыли въ пять часовъ. Рабочіе на соляныхъ варницахъ, мужчины и женщины, уже отработались: одни изъ нихъ бѣгали другъ за другомъ, колотили другъ-друга, при чемъ женщины взвизгивали, другія, сидя на набережной въ разныхъ мѣстахъ, пѣли пѣсни. Кругомъ мрачно; въ балконахъ стоятъ купчихи, жены заводскихъ управляющихъ и ихъ дочери: онѣ хотятъ взглянуть, кто приплылъ на пароходѣ. Изъ пассажировъ состоятельные люди оказываются знакомые. Дамы кланяются, мужчины справляются о здоровьѣ.

— Заходите!—кричатъ дамы.

— Покорно благодарны. Приду-съ!

— Пожалуйста,—скучно!..

Знакомый, съ которымъ я условился ѣхать до Ч. сказалъ мнѣ: здѣсь еще весело, потому-что народъ поразвитѣе и болѣе общителенъ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Но и здѣсь есть особые кружки: заводчики знаются съ заводчиками, купцы съ купцами, чиновники съ чиновниками. Для народа только нѣтъ никакихъ развлеченій.

Моего спутника, какъ губернскаго чиновника, здѣсь встрѣтили съ почетомъ, и я попалъ въ аристократическій домъ, но со мной избѣгали разговаривать и только къ чаю пригласили въ залъ. Въ залѣ сидѣло до пяти чиновниковъ, въ томъ числѣ и какой-то мировой посредникъ, что я узналъ по красному околышу на фуражкѣ. Дамъ здѣсь не было. Чиновники толковали о служебныхъ дѣлахъ хохотали надъ своими начальниками. Мировой посредникъ рекомендовался мнѣ, и мы скоро разговорились.

— Я въ Ч. ни за что больше не поѣду. Дѣлать тамъ нечего: крестьяне смирны, писарь все сдѣлаетъ.

Посредникъ повелъ меня въ трактиръ, носящій названіе города И. Трактиръ состоитъ изъ двухъ комнатъ съ грязнымъ поломъ, неоклеенными стѣнами. Въ большой комнатѣ пили чай рабочіе.

— Скоро ли вы, мужланы, натрескаетесь?—крикнула хозяйка на рабочихъ.

— Погоди, не роди, деньги платимъ.

— Мы сами съ усами!—сказалъ молодой рабочій и, закуривъ папироску, сталъ ходить по комнатѣ, сложивъ руки на спинѣ.

— Какое ты имѣешь право курить? Брось сосульку!—кричала хозяйка.

— Руки коротки.

— Брось! брось!..

— Нынѣ, хозяюшка, можно и на улицахъ курить, разрѣшеніе такое вышло,—сказалъ я хозяйкѣ.

— Такъ вотъ я и дозволю курить!

— Не курить!—крикнулъ посредникъ рабочимъ. Они ушли.

На другой день пріѣзда въ И., я поѣхалъ въ Ч.

Въ Ч. намъ пришлось ѣхать дальше черезъ городъ С., а такъ какъ теперь мы въ С. не останавливались, то я буду говорить объ немъ дальше.

Дорога отъ С. до Ч. страшно скучная. Даже однообразіе видовъ не веселитъ. По обѣимъ сторонамъ дороги лѣсъ высокій, густой; ѣдешь-ѣдешь и живого человѣка не увидишь, не услышишь не только человѣческаго, но даже птичьяго голоса—только ямщикъ въ ободранномъ зипунѣ, сидя на козлахъ, покрикиваетъ на лошадей, да и то не часто; его дремота одолѣваетъ. Заговоришь съ нимъ,—онъ отмалчивается, нукнетъ, какъ будто хочетъ разъ навсегда отдѣлаться отъ тебя: «да отстань ты! чего ты лѣзешь! и безъ тебя тошно... Товарищъ мой дремлетъ, зѣваетъ или начнетъ разсказывать какія-нибудь пошлыя исторійки, говоритъ такъ гладко, смѣшно, но не хочется его слушать. Видитъ онъ, что я смотрю не на него, а въ другую сторону, обидится, прерветъ разсказъ на половинѣ и начнетъ спрашивать: зачѣмъ я ѣду въ Ч. и т. п. Замѣтитъ онъ, что я больше отмалчиваюсь, крикнетъ на ямщика: пошелъ!—и если лошади идутъ не больно скоро, онъ накинется на ямщика.

— Пошелъ, тебѣ говорятъ!

— Ну... ну.

— Я тебѣ дамъ ну-ну: скотина... напишу становому—вздуетъ.

— Не та пора-то...

— Ахъ ты, свинья этакая. Я же тебя!

И чиновникъ разсказалъ мнѣ, какъ онъ однажды приказалъ становому наказать ямщика за грубость.

Изрѣдка попадаются здѣсь деревеньки, въ три и много въ десять домиковъ, съ крытыми соломой крышами, безъ заплотовъ; около домиковъ бродятъ свиньи; на тощихъ поляхъ лежатъ или ходятъ тощія коровы; во дворахъ, и то не во всѣхъ, стоятъ по одному мужчинѣ или по одной женщинѣ, что-то дѣлающихъ, въ синихъ изгребныхъ рубахахъ, съ блѣдными тощими лицами; изъ оконъ выглядываютъ полуодѣтыя ребята и съ удивленіемъ смотрятъ на проѣзжающую повозку, которую тащатъ двѣ лошади...

— А что, много здѣсь ѣздитъ людей?—спросилъ чиновникъ ямщика.

— Ась?

Чиновникъ повторилъ вопросъ. Ямщикъ промолчалъ. А надо вамъ замѣтить, что, начиная отъ С., крестьяне многихъ словъ, сказанныхъ имъ мною и чиновникомъ, не понимали. Выговаривали они по-своему такъ непонятно, отрывисто, что нужно было каждое слово обдумывать.

— Я тебя спрашиваю.

— Ну?.. чево ино...

Чиновникъ не добился отвѣта. Но и безъ вопросовъ видно было, что здѣсь немного ѣздитъ народа: въ продолженіе двѣнадцатичасовой ѣзды, навстрѣчу намъ попался только одинъ крестьянинъ, ѣхавшій верхомъ на лошади, а насъ никто не перегналъ.

Въ этой глуши, особенно на станціяхъ, чиновники изъ губернскаго города ведутъ себя съ особенною важностью. Если чиновникъ имѣетъ порядочный чинъ или занимаетъ порядочную должность, онъ въ уѣздѣ считаетъ себя чуть-чуть не губернаторомъ, отъ сельскихъ начальствъ требуетъ повиновенія, а отъ крестьянъ и подавно. Для ясности представлю я одну сцену. Только-что мы пріѣхали на станцію и въѣхали во дворъ,—около одной повозки, запряженной въ три лошади, стояло шесть крестьянъ: одни въ рубахахъ, другіе въ зипунахъ, держа въ рукахъ шапки. Они переминались съ ноги на ногу, почесывались и толковали о чемъ-то между собой. Два ямщика отпрягли лошадей. Въ повозкѣ было только двѣ подушки.

— Кто пріѣхалъ?—спросилъ мой товарищъ ямщиковъ.

Крестьяне стали смотрѣть на него съ удивленіемъ; ямщикъ сказалъ, что пріѣхалъ Косой, начальникъ изъ Ч.

— А вы, дурачье, зачѣмъ шапки сняли?—крикнулъ онъ крестьянамъ. Тѣ не знали, что дѣлать: то переглядывались другъ съ другомъ, то смотрѣли на насъ. Одинъ надѣлъ шапку.

— Скинь, вахлакъ!—началъ негромко одинъ крестьянинъ. Заговорили остальные:

— Чево! мотри друго ночельство не велитъ.

— Это начальство? А кое?

— Крицитъ кое... Ошшо... Ишь...

— А тотъ?.. что же у няво... стекла какіе-те? Я былъ въ очкахъ.

Товарищъ мой ушелъ въ домъ, а я слѣзъ и сталъ набивать трубку махоркой. Это удивило крестьянъ: они то улыбались, то толкали другъ друга.

— А что, дядя, можно курить-то здѣсь?—спросилъ я ямщика.

— Этотъ баринъ-то кто?—спросилъ ямщикъ меня.

Я сказалъ и повторилъ свою просьбу.

— Курить-то? А ты съ нимъ какъ?

— Пополамъ ѣду.

— Пополамъ...—Ямщикъ захохоталъ.

— Чему ты смѣешься?

— Знамъ мы!.. Ишь дурака нашелъ!.. Да ты у него какъ ино?..

— Никакъ.

— А ты поди туда.—Ямщикъ указалъ мнѣ на домъ.

Сходилъ я въ домъ, покурилъ тамъ, и вышелъ опять во дворъ. Крестьяне стояли за воротами.

— Вы чего,—хлопочете что ли?—спросилъ я ихъ.

— Ваше благородье! Сдѣлай такую божескую милость! мы тѣ ужъ...—говорили крестьяне и окружили меня.

— Сдѣлать я ничего не могу.

— Ужъ ты заступись... Мы ужъ тѣ... попроси ты набольшаго-то. Вотъ подать надо, а сюда призвали...

Я былъ въ неловкомъ положеніи и ушелъ во дворъ, но остановился недалеко отъ воротъ.

— Эко дѣло, дать бы ему...

— А почто? онъ, поди, такъ.

— Левизоры, баютъ.

— Подемъ. Молодой-то бассяе... Ужъ онъ все сдѣлатъ... Ишь, трубку сосетъ по-нашему.

— Молчи: молодой хуже, онъ такъ... другое-тъ ночельникъ!

— А что, у васъ ревизоры часто бываютъ?— спросилъ я одного крестьянина, когда онъ вошелъ во дворъ.

— И! бѣда!!..

— Какъ же такъ? я слышалъ, что только они разъ пять въ году бываютъ.

— Поце?.. гли сколь: топерь ты, другой; вцера одинъ убѣгъ...

— Да, можетъ, они не ревизоры.

— Чте ты баешь! сами глядѣли.

— А толкъ-отъ есть ли?

— Ой ужъ!.. А ты ливизоръ же?

— Нѣтъ. Я братцы нигдѣ не служу въ чиновникахъ.

— А поце?

— Васька, уди; ожжетъ онъ тѣ, чортъ!

— Онъ баетъ: не левизоръ-де. Онъ такъ!.. Левизоры разѣ сосутъ эку сосульку...

— Будь ты проклятой, лѣшакъ! Уди, говорятъ...

— Не бойтесь, братцы: я ей-Богу не ревизоръ, и тотъ не ревизоръ.

Вышелъ мой товарищъ. Одинъ повалился ему въ ноги, другой сказалъ:

— Ослободи ты насъ, батшко, ливизоръ.

— Ну, ну... Чиновникъ былъ въ неловкомъ положеніи. Онъ, какъ губернскій житель, не любилъ уѣздныхъ и хвастался любовью къ мужикамъ.

— Я похлопочу... Пошли прочь!—крикнулъ онъ. Крестьяне отошли прочь. Въ это время вышелъ на крыльцо тучный человѣкъ, крестьяне хотѣли подойти къ нему ближе, но боялись.

— Это къ вамъ вѣрно? — спросилъ мой товарищъ тучнаго господина.

— Да они всякаго проѣзжаго за ревизора считаютъ... Пошли прочь!..

Одинъ надѣлъ шапку, другой пошелъ за ворота; за нимъ поплелись и прочіе. Но когда тучный господинъ выѣхалъ изъ воротъ, они близко подошли къ повозкѣ. Толстякъ велѣлъ ямщику остановить лошадей.

— Если вы не представите завтра подать, я васъ... Пошелъ!—И толстякъ уѣхалъ. Крестьяне стали разсуждать, собравшись въ кучу; къ нимъ подошли двѣ бабы въ грязныхъ рубахахъ; трое маленькихъ ребятъ смотрѣли на нихъ съ вытаращенными глазами и разинутыми ртами. Мы тоже тронулись.

Чиновникъ, ѣхавшій со мной, объяснилъ мнѣ, что крестьяне каждаго чиновника почитаютъ за ревизора; что съ ними нельзя говорить безъ ругани, потому-что они иначе не понимаютъ. Я говорилъ, что это вздоръ; но онъ увѣрялъ меня, говоря, что онъ на практикѣ испыталъ это.

Ч. находится, какъ значится по одному описанію, «Р—ской губерніи, на сѣверо-западномъ краю губерніи, на правомъ высокомъ берегу рѣки Морошки. Онъ расположенъ на косогорѣ, обращенномъ къ рѣкѣ и пересѣкаемомъ весьма глубокими оврагами. Ч. по мѣстоположенію принадлежитъ къ числу лучшихъ уѣздныхъ городовъ въ Р—ской губерніи. Высокое, гористое и сухое мѣстоположеніе дѣлаютъ излишними мощеніе улицъ».

На основаніи этого заключенія въ городѣ существуютъ неглубокія канавы, прорытыя потоками воды во время дождя, и жители говорятъ, что не къ чему строить тротуары, такъ какъ они скоро разваливаются, а во время вѣтра пыль поднимается со всѣхъ улицъ. Городъ далеко превосходитъ своею наружностію грязный С., который мы проѣхали послѣ И.: улицы прямыя, больше каменныхъ домовъ, и ему, какъ видно, хочется походить на губернскій городъ, но зато здѣсь, въ этой глуши, люди живутъ замкнуто. Съ перваго раза бросается въ глаза то, что дѣлаютъ здѣсь люди?

— Житье нашему брату здѣсь привольное: жалованіе получишь, водки купишь, пропьешь половину, другую половину въ карты проиграешь, — сказалъ мнѣ одинъ знакомый туземецъ.

— Можетъ-быть, не всѣ такъ дѣлаютъ?

— Извѣстно. Кто водку мало употребляетъ и въ карты не играетъ, тотъ поскорѣе женится. Да и что намъ дѣлать: въ семь часовъ утра чаю напьешься, въ восемь по дѣламъ пойдешь, въ два часа обѣдаешь, потомъ спишь или рыбачить идешь. Вечеромъ до девяти на службѣ просидишь.

— И не скучно?

— И! что за скука? А я знаю, вы до чего добираетесь: вы насъ описать хотите. Пишите, молъ, въ Ч. книгъ читать жители не любятъ. На кой намъ чортъ ваши книги? Ну-ко, скажи? Вы тамъ по-губернски какъ хотите, а намъ и безъ книгъ пріятно спится.

Прожилъ я первый день, скука страшная. Дома хозяинъ разсказывалъ, какъ онъ въ прежнее время наживалъ деньги,—и ругалъ разные новые порядки.

— Не повѣрите, если я васъ стану увѣрять, что прежде лучше жилось, при старыхъ-то порядкахъ... Возьмешь десять рублей по дѣлу, потому жалованье маленькое, а у меня семья,—ну и спихнешь дѣло. Начальство замѣчаетъ, бывало, мнѣ при выдачѣ жалованья: на что тебѣ деньги? ты и такъ накопилъ,—и спрашиваетъ, сколько я накопилъ? Да оно, что есть, само хлопотало о томъ, чтобы просители давали мнѣ, а тѣ ужъ сами привыкли, не обижаются...

Коснулся разговоръ одного человѣка; мой хозяинъ расходился, а потомъ помолчалъ и вдругъ, сѣтуя на свою судьбу, что его уволили въ отставку, заговорилъ по ученому:

— Да, батюшка, порядки нынѣ другіе... Вонъ въ «Воскресномъ Досугѣ», да «Сынѣ Отечества» карикатуры на насъ, бѣдныхъ, стали дѣлать, а за что? Пріѣдетъ сюда какой-нибудь выскочка, франтъ, и задаетъ шику: я то, я это!.. Вы, говоритъ, взяточники; ко всему придирается каналья, а самъ какой-нибудь губернскій секретарь, не то что мы, коллежскіе асессоры,—дрянь! Да и такая каналья

этотъ молокососишко, губернскій секретаришко, возьметъ да и затребуетъ отъ тебя объясненіе. Читаешь, читаешь, ничего не поймешь, просто издѣвается надъ тобой, коллежскимъ асессоромъ! Возьмешь да и накачаешь ему отношеніе: о чемъ, молъ, ваше благородіе, изволите, спрашивать? Если бы можно было, такъ бы и назвалъ его блохой... Онъ опять; возьмешь да и плюнешь на его бумагу. Жди и дожидайся. Мы и сами съ усами, и блохъ не боимся. Онъ жалобу на тебя, а какъ угостишь его, онъ и съежится: давно бы, говоритъ, такъ сдѣлалъ!.. Охъ, ужъ эти франты: за нашу же хлѣбъ-соль что дѣлаютъ! уѣдетъ эта блоха, плюнешь ему вдогонку и живешь себѣ... Вдругъ запросъ отъ начальства. Ну это еще куда ни шло, потому тамъ замазать можно; такъ вѣдь отставкой грозятъ, а то и получится указъ: увольняется по прошенію. Вотъ что бѣдно (обидно). Пріѣзжалъ къ намъ одинъ Тряпкинъ... Ужъ тряпка тряпкой, а какъ онъ торговлю свидѣтельствовалъ?..

Въ другомъ мѣстѣ разговоръ коснулся гласнаго судопроизводства. Вдругъ спрашиваетъ меня одинъ.

— Да! Скажи-ка ты мнѣ: что это за штука? По-славянски гласъ значитъ глаголъ, да какъ же примѣнить-то этотъ глаголъ къ нашему уѣздному суду: судъ глаголъ что ли? а мѣстоименіе-то кто? Онъ говорилъ это серьезно. Мы пили водку въ саду.

— Гласное судопроизводство? тутъ сударь, будутъ рѣшать дѣла безъ перьевъ и бумаги,—замѣтилъ другъ-пріятель моего знакомаго, смѣясь, какъ будто онъ острилъ надъ нимъ.

— Ты не болтай, пустомеля. Это невозможно. Ну какъ безъ бумаги? Да тогда будетъ большой подрывъ бумажнымъ фабрикамъ. Объ этомъ-то ты подумалъ ли, лысая башка?..

— Тогда всякій можетъ приходить въ судъ даромъ и всякій будетъ знать, за что судятъ человѣка,—сказалъ я какъ-то неловко.

— О—о? такъ вотъ я и выдамъ канцелярскую тайну! Да если мнѣ прибавятъ тогда больше жалованья, я за тайну меньше тысячи не возьму—дудки!—И онъ свистнулъ.

— Тогда всѣхъ нынѣшнихъ судей слѣдовало бы уволить.

— На какомъ основаніи?

— Потому-что не годятся. Напримѣръ, сдѣлайтесь вы судьей, вы только все дѣло перепутаете.

— Ахъ ты, мерзавецъ, мерзавецъ... Извини, впрочемъ. Это ты говоришь потому, что ты нигдѣ не служишь, тебѣ все равно. А я тебѣ скажу: твоего гласнаго суда у насъ не будетъ.

— Почему?

— Я сказалъ—и баста!.. Тамъ, можетъ-быть, гдѣ-нибудь... Нѣтъ — врешь!... Не будетъ! не смѣютъ!!..

— Да вѣдь говорили же, что воли не будетъ: вышла же.

— То воля, тамъ мужики; а то судъ, гдѣ участь людскую рѣшаютъ. И поколебать такую твердыню невозможно.

— Возможно.

— Невозможно!!

Мой знакомый вскочилъ, схватилъ въ руку бутылку; я замолчалъ, убоявшись того, что онъ можетъ зашибить меня.

Этотъ господинъ такъ привыкъ къ тому порядку, который существуетъ теперь, что съ нимъ невозможно было говорить о новыхъ вещахъ, о такихъ предметахъ, о которыхъ онъ не имѣлъ никакого понятія, и если онъ принуждалъ человѣка замолчать силой, то торжествовалъ.

— Что взялъ! Мы практики и вамъ не вѣримъ, мало ли вы что толкуете!

— Увидимъ!—отвѣчалъ ему смиренно противникъ.

— Увидимъ, какъ въ аду будемъ.

Вечеромъ этотъ же господинъ, уже весьма хмѣльной, сталъ вдругъ цѣловать меня и заставлялъ пить водку. Я отказался.

— Пей! не то на голову вылью.

— Ей-Богу, не могу. Я и такъ пьянъ.

— Ахъ, ты... Тутъ онъ обругался непечатно и рванулся ко мнѣ, но упалъ на полъ.

Когда мы легли спать, онъ долго ворчалъ.

— Ты поди, врешь, что ты изъ Петербурга...

Долго еще вечеромъ и ночью кричали гдѣ-то на улицахъ, раздавались пѣсни. Огни въ домахъ скоро погасли; по улицамъ ходили караульные и каждаго запоздалаго останавливали, отчего пьяные дрались съ караульными, убѣгали отъ нихъ, а за ними гнались собаки со страшнымъ лаемъ.

Спросилъ я на другой день почитать чего-нибудь; обязательный хозяинъ обѣщался достать мнѣ вечеромъ «Воскресный Досугъ». Я удивился, что семейство этого человѣка не скучаетъ, даже не жалуется на скуку, несмотря на то, что дѣвицы выросли въ губернскомъ городѣ.

— Что намъ скучать-то: до обѣда стряпней занимаемся, послѣ обѣда спимъ, вечеромъ прогуливаемся или пьемъ что-нибудь, или въ карты играемъ.

Впрочемъ, заниматься стряпней въ кухнѣ приходилось не всѣмъ, потому-что ссорились постоянно, и потому та, которая помоложе, играла въ комнатѣ въ куклы съ двѣнадцатилѣтней сестрой, которая не умѣла еще читать.

Пошелъ я гулять по городу. Попались мнѣ два крестьянина. Снявъ шапку, одинъ спросилъ меня:

— Ваше благородье, гдѣ-ка ночельство...

— Какое?

— Да такое, что бумагу намъ объ волѣ какой-то читали... Мы не знаемъ, что тамъ.

— Прежъ за землю ничего не брали, а теперь старую-то взяли, другую дали—болото, и деньги требуютъ.

— Намъ не надо ея...

— Мирового вамъ надо?

— Во—во! Ужъ сдѣлай божеску милость, скажи, мы тѣ рябковъ дадимъ.

— Не знаю, братцы, я не здѣшній. Сказываютъ, что мировой въ И.

— Асъ?

— Въ И.

— Эко дѣло? Такъ ты чево ино скажешь?

— Ничего я, братцы, не знаю.

Они стояли, переминаясь съ ноги на ногу; одинъ толкнулъ другого въ спину и мигнулъ ему.

— Такъ, ваше благородье, сколько тебѣ... за хлопоты-то?

— За какія хлопоты?

— А ты ужъ похлопочи: онъ, поди, здѣсь миръ-отъ этотъ. Послѣдню коровенку отдалъ, кабы... И эту купцу здѣшному отдалъ, потому муки надобно; а онъ всего-то два мѣшка далъ, да велѣлъ рыбы наловить пуда два...

— Какъ же, говорятъ, у васъ въ уѣздѣ золото промываютъ?

— Промываютъ, да что! подрядчики, кои богатые, обманываютъ тожно.

— Сами свою пользу соблюдаютъ, а мы робь-робь имъ... Хуже, какъ въ бурлакахъ... Вотъ что, почтенной!

— Топерь подрядились мы осенью за пять рублевъ въ мѣсяцъ со своимъ хлѣбомъ, пробили; ладно... А какъ расчетъ вышелъ, по гривнѣ и получили.

— Какъ такъ?

— А Богъ ихъ знаетъ. Баютъ, золота нѣту, а мы робили, робили...

— Было золото-то?

— Было, да баитъ не велятъ... И чего баитъ: можетъ, оно и такъ... Тоже теперь къ здѣшному купцу ходили двое, судно съ мукой тащили, онъ и не дочти имъ два съ полтиной. Баетъ, ходить будете, хуже будетъ... Порядились бревна ему возить.

— А больше-то нечего робить!

— А чево робить-то?

Ч—скіе капиталисты забрали въ руки выгодныя занятія: они выдѣлываютъ кожу, ведутъ торговлю съ дикими людьми, скитающимися по сѣверу и ловко поживаются отъ крестьянъ.

Въ Ч. еще весело, но въ С. даже и сами жители скучаютъ отъ бездѣйствія. Въ Ч. еще мѣщане находятъ кое-какое занятіе; напримѣръ, берутся за какія-нибудь спекуляціи, аферы, стрѣляютъ птицъ и звѣрей, ловятъ рыбу, продаютъ какія-нибудь вещи приходящимъ и приплывающимъ изъ другихъ губерній крестьянамъ и проч. Тамъ можно услыхать кое-что о торговыхъ дѣлахъ, народъ немного оживленнѣе,—особенно тотъ, кто занимается дѣломъ; но здѣсь заниматься почти нечѣмъ. Есть, правда, двѣ варницы, но тамъ работаютъ тѣ же, которые и до воли работали. Вотъ поэтому работящіе люди и нанимаются въ судовые рабочіе, женщины плетутъ кружева, но большинство мѣщанъ перебиваются кое-какъ. Остальные жители дошли до такого отупѣнія, что кромѣ плутень ничего не могутъ выдумать и рады не рады, что, кое-какъ наѣвшись, могутъ скорѣе заснуть и провести большую половину сутокъ во снѣ. Въ городѣ мало новыхъ домовъ, старые дома не поправляются, и если чѣмъ городъ славится, такъ восемью церквами. Вся эта бѣдность произошла оттого, какъ разсказываютъ старожилы, что въ половинѣ семисотыхъ годовъ С. процвѣталъ, но потомъ не приписанныхъ къ ревизіи около полуторы тысячи рабочихъ мужчинъ выселили въ другое мѣсто, и съ этихъ поръ солепромышленность постоянно падала, и теперь отъ 40 варницъ осталось только двѣ. Городъ расположенъ подъ горами, и поэтому въ немъ послѣ дождей очень грязно; но жители привыкли къ этой грязи, а поживши здѣсь два года привыкаютъ и къ скукѣ. Здѣсь тоже много ссыльныхъ, такъ же, какъ и въ Ч. Имъ нечего дѣлать, и живутъ они отдѣльно отъ другихъ обществъ.

Здѣсь мнѣ пришлось прожить съ мѣсяцъ, но этотъ мѣсяцъ я провелъ точно въ карцерѣ, несмотря даже и на то, что я бы могъ, благодаря хлѣбосоламъ, быть съ утра до вечера пьянымъ.

Прожилъ я недѣлю въ С, ни съ кѣмъ не знакомясь, и сталъ привыкать къ нему. Даже сталъ отвыкать отъ того образа жизни, какой я велъ раньше. Встанешь въ шесть часовъ, чаю напьешься; читать станешь—зѣвается, на улицу тянетъ. Пойдешь купаться въ рѣчку — изъ барскихъ домовъ выглядываютъ барышни, только-что вставшія. Во второмъ часу обѣдаемъ. Послѣ обѣда спать хочется.

— Вѣдь ты пріѣхалъ сюда здоровье поправлять, а въ карты, говоришь, играть не любишь, ну и спи. Ты человѣкъ свободный, не такъ какъ мы... Водку пить теперь не годится,—спи пока спится, совѣтовали мнѣ родные, и, странное дѣло, я скоро засыпалъ, когда ложился послѣ обѣда и постоянно пробуждался въ пять часовъ. Но ужъ вѣрно воздухъ здѣсь такой, что въ три часа душно въ городѣ, спать хочется, и не спятъ только дѣти да восьмая часть гражданъ.

— Ну что, хорошо ли поспалъ?—спрашиваютъ меня.

— Славно. Только мнѣ ужасно совѣстно, что я сплю: вѣдь я не вамъ чета. Вы, слава Богу, пятые десятки доживаете, да и живете-то здѣсь не годъ.

— Ну, перестань, милый. Только я скажу тебѣ: чѣмъ вашему брату молокососамъ ѣздить лѣчиться за границу, не лучше ли бы было проживать лѣто на родинѣ: и здоровье бы поправилось и денегъ бы сберегли. Въ карты не будешь играть,—поправишься, потому ѣшь сколько хошь, спи и гуляй, сколько душѣ твоей угодно.

И я слѣдовалъ этому совѣту: спалъ по два раза въ сутки, вставая постоянно утромъ въ шесть часовъ, вечеромъ въ пять. Послѣ чаю вечеромъ сядешь къ окну и глядишь на улицу. Пусто на ней; изрѣдка развѣ ссыльные пройдутъ, поглядывая на окна, поиграютъ ребята въ лошади; у оконъ сидятъ женщины; онѣ или тоже смотрятъ на противоположныя окна противоположнаго дома или что-то дѣлаютъ, склонивши головы къ колѣнямъ. Но вотъ часовъ въ семь, восемь, проѣдетъ лошадь, запряженная въ линейку; на линейкѣ сидятъ дамы и мужчины или дѣти. Поклонятся они намъ или своимъ знакомымъ, тѣ спросятъ: Катаетесь!—Да, отвѣтитъ кто-нибудь изъ нихъ, и уѣдутъ. Черезъ

нѣсколько минутъ опять они ѣдутъ и еще проѣдутъ шесть-семь разъ.

— У насъ только одна чистая улица, по ней и ѣздятъ. Катаются они еще потому, что дома скучно, и они ждутъ приглашенія отъ насъ,— объяснили мнѣ должностные люди.

Отъ скуки прохаживаются и должностные люди, но они останавливаются передъ окнами товарища; стучатъ тросточками въ стекла. Отворяетъ окно хозяйская дочка, красивая, здоровая дѣвица.

— Дома?—спрашиваютъ они.

— Спитъ.

— Экій чортъ! Скажите, что, молъ, послѣ зайдемъ.

Отъ этой же скуки должностные люди почти каждый день ходятъ въ гости, пьютъ водку и играютъ въ карты по маленькой.

Въ десять часовъ еще тише. По улицамъ только караульные ребята ходятъ, да во дворахъ собаки лаютъ, но въ четыре часа точно все умерло въ городѣ: не лаютъ собаки, спятъ караульные, ребята или женщины-старухи, сидя у калитки; на улицахъ рѣшительно пусто, многія окна закрыты ставнями; тихо такъ, что крикни человѣкъ на одномъ краю города—во всемъ городѣ это будетъ слышно.

Знакомство свое я началъ съ ученикомъ уѣзднаго училища.

— Что васъ нынче постегиваютъ?

— Славно стегаютъ. Смотритель нашъ очень любитъ это.

— А директоръ?

— Онъ самъ приказывалъ, потому говоритъ: розгами ребята лучше къ зубряжкѣ привыкнутъ.

— Онъ у насъ сердитый: какъ начнетъ кричать,—бѣда!.. Любитъ, чтобы ученики разсказывали такъ, чтобы не останавливаться. Если остановишься, онъ скажетъ, что ничего не знаешь.

— Онъ грамматику только, говорятъ, знаетъ.

— Ну, а вы по окончаніи курса куда?

— Тятенька хочетъ въ казначейство опредѣлить; тамъ жалованья больше и доходовъ больше.

Передъ окнами одного дома стоялъ засѣдатель уѣзднаго суда, про котораго ходятъ слухи, что онъ всѣмъ судомъ ворочаетъ и пьетъ водку мастерски.

— Такъ ты смотри же! пирога не сдѣлаешь, купчую продержу годъ и больше—говорилъ онъ человѣку, сидѣвшему у окна въ халатѣ и съ папироской.

— Пирогъ сдѣлаю, а взятку не дамъ.

— Ну, шалишь! Мы тебѣ такую заковычку ввернемъ, что...—И онъ захохоталъ.

— Здравствуйте, г. литераторъ!—сказалъ онъ мнѣ. Мы поздоровались за руки.

— Что вы это все дома сидите? Хоть бы зашли къ намъ, про вашу столицу разсказали, въ картишки поиграли...

— Покорно благодарю.

— Вы, поди, объ насъ тамъ ковыряете... О, вы опасный человѣкъ! Ну, а скоро ли гласный-то судъ будетъ? что тамъ поговариваютъ.

— Говорятъ, въ будущемъ году... Да вѣдь объ этомъ въ газетахъ пишутъ: въ «Биржевыхъ», въ «Сѣверной Почтѣ»...

— Ну, я не люблю читать... А что вы думаете объ этомъ судѣ?

— Думаю, хорошее учрежденіе будетъ.

— Ну, я вамъ скажу: безъ насъ, старыхъ служакъ, такой выйдетъ кавардакъ, что и не говори. Дойдетъ до того, что насъ же и оставятъ; а мы по старому повернемъ... Только я никакъ не могу понять, въ чемъ тутъ суть?.. Да... да.

— Погонятъ ужо васъ метлой,—сказалъ человѣкъ изъ окна и захохоталъ.

— Ну, ужъ насъ не погонятъ: мы люди заслуженные, наизусть всѣ статьи знаемъ... Погонятъ насъ, и васъ погонятъ, потому-что нашъ судъ— первое мѣсто.

Мы разошлись. Пришелъ ко мнѣ на квартиру пріятель Б.

— Ну, батенька, сбился я съ этими чиновниками. Такой народъ, что ужасъ. Представь себѣ, что я требую отъ нихъ объясненія, они только хихикаютъ, да къ себѣ въ гости зовутъ. Съ однимъ началъ лично объясняться—куда! ничего не понимаетъ... Прихожу въ другой разъ, кинжалъ точитъ.—На кого это? спрашиваю.—Да, говоритъ, нѣмецъ обидѣлъ меня, назвалъ солдатомъ... Я ему докажу, какой я солдатъ! Я, говоритъ, прежде литературой занимался, въ Петербургѣ на углу Большой Морской — Гороховой и Садовой жилъ.— Сколько я не увѣрялъ его, что въ Петербургѣ нѣтъ такой улицы и дома на такомъ углу, но онъ обругалъ меня и сталъ доказывать, что адмиралтейство стоитъ у московской желѣзной дороги... Я васъ познакомлю съ здѣшнимъ ученымъ ареопагомъ, т. е. съ собраніемъ, гдѣ толкуютъ о возвышенныхъ предметахъ. Это такое собраніе, какое вамъ и во снѣ не снилось.

Заинтересовался я этимъ и разъ вечеромъ пошелъ съ Б. Онъ меня представилъ двумъ дамамъ, изъ которыхъ одна была молодая, другая—лѣтъ подъ сорокъ. Разговаривали онѣ свысока, вели себя очень развязно. Это были дамы, что называется, первый сортъ. Кромѣ меня и Б., были у нихъ еще двое мужчинъ изъ чиновнаго класса. Ну, думаю, съ чего они начнутъ?

— Вы женаты-съ?—спросила одна дама.

Я сказалъ.

— И дѣти есть? Извините за нескромность... Мы, провинціалы, житейскимъ интересуемся... Вы, я думаю, скучаете?.. Ходите къ намъ... Здѣсь гадкое общество, никуда нельзя показаться,—на смѣхъ поднимутъ... Здѣсь страшные сплетники... Мы, прогрессисты, учеными предметами занимаемся. А вы у кого служите?

— То-есть какъ?—спросилъ я даму.

— Въ какомъ журналѣ?

— Занятіе литературой не есть служба какому-нибудь частному лицу. Это занятіе можно только назвать службой обществу.

— А вѣдь мы думали...

Завязался разговоръ о редакторахъ, сотрудникахъ, о платѣ за статьи. Дамы не имѣли никакого понятія объ этомъ и думали, что всѣ сочинители статскіе совѣтники, а редакторы и издатели въ самыхъ высокихъ чинахъ.

Потомъ вдругъ другая дама спросила меня:

— Какъ вы находите здѣшнее общество?

— Нахожу, что оно очень добродушное, хлѣбосольное.

— Ну, ужъ я отъ васъ не ожидала этого.

Мы подошли къ окну. На линейкѣ проѣхало четыре дамы.

— Вы знаете, кто это? Это наши модницы въ высшей степени, глупы до невѣроятности, горды какъ никто... Ахъ, вы читали «Тысяча Душъ»?

— Читалъ.

— Превосходный романъ; единственный во всемъ свѣтѣ романъ.

Я не спорилъ.

— Нѣтъ ли у васъ Бѣлинскаго? все собираюсь читать; нигдѣ нѣтъ...

Стали толковать о городскихъ новостяхъ. Одна женщина бросила мужа зато, что онъ пьяница, и ноетъ теперь отъ любви съ однимъ господиномъ, который, впрочемъ, называетъ себя прогрессистомъ и ученымъ. Онъ рекомендовалъ себя мнѣ весьма оригинальнымъ ученымъ: поролъ такой вздоръ, что я ничего не понялъ,—и наконецъ остановился, подумалъ и спросилъ меня:

— Ахъ, да, о чемъ я говорилъ?

— Право не знаю,—сказалъ я.

— Не желаете ли въ картишки?

Я отказался.

— Вы, питерскіе, не играете въ карты, а мы, с-кіе играемъ.

Началъ я ходить къ нимъ часто. Изъ приглядываній и изъ разговоровъ я пришелъ къ тому заключенію, что дамы женщины порядочныя, къ нимъ ходятъ люди тоже порядочные, т.-е. больше губернскіе чиновники, люди, считающіе себя порядочными. Слово прогрессистъ попало къ нимъ съ извѣстнаго времени и отъ молодыхъ губернскихъ чиновниковъ. Отъ бездѣйствія имъ очень было скучно, и поэтому они, имѣя знакомыхъ въ губернскомъ городѣ, постоянно приглашали къ себѣ губернскихъ чиновниковъ, которые, разыгрывая здѣсь немаловажную роль, закидывали ихъ разными новыми словами въ родѣ «реалистъ»; но, собственно говоря, сами чиновники ни бельмеса не смыслили въ учености и очень рады были провести время за водкой и картами въ обществѣ милыхъ дамъ, а потомъ въ губернскомъ городѣ говорили про нихъ разныя нелѣпости, въ родѣ того, что они достигли самыхъ близкихъ отношеній съ дамами.

Часто мы заговаривали объ ученыхъ предметахъ, послѣ чего начинались сѣтованія на скуку, жалобы на аристократовъ, гнушающихся ими. Затѣмъ садились за карты... Мнѣ, впрочемъ, надоѣла эта ученая компанія, потому, во-первыхъ, что нужно было говорить съ ними по ученому и въ то же время слушать вздоръ, а во-вторыхъ, безъ водки ни одно посѣщеніе не заканчивалось. Отъ этой ученой академіи я узналъ такое правило: если человѣкъ не играетъ въ карты — онъ, значитъ, бѣдный и въ то же время опасный человѣкъ; если человѣкъ не пьетъ водку, то, значитъ, пренебрегаетъ людьми. Тутъ же обсуждался вопросъ о томъ, кто благороднѣе: мужикъ или образованный? И большинство голосовъ оставалось на томъ мнѣніи, что образованный благороднѣе, а мужикъ тогда будетъ благороднымъ, когда его назовутъ коллежскимъ регистраторомъ. Когда я замѣтилъ, что благородство состоитъ не въ чинѣ, то одинъ старый человѣкъ, считающій себя президентомъ академіи, потому-что онъ разсуждалъ про литературу сороковыхъ годовъ, возразилъ: а развѣ коллежскій регистраторъ долженъ марать себя ползаньемъ на колѣняхъ передъ мужикомъ, когда мужикъ будетъ бить его за изнасилованіе его дочери?

— Долженъ ползать.

— Кто объ этомъ сочинилъ?

— Разсудокъ...

— Ахъ вы, нигилистишки голоштанные! Это вы потому такъ судите, что вамъ досадно, что вы чина не имѣете. Мало васъ сѣкли! Гм! мужика на одну доску съ коллежскимъ регистраторомъ ставятъ.

Ученые споры постоянно заканчивались или ссорами или упреками; противники упрекали другъ друга чѣмъ-нибудь, а послѣ этого всѣ расходились сердитые другъ на друга.

Б. всегда хохоталъ надъ этой академіей и говорилъ мнѣ, что дамы дурятъ. «Онѣ любятъ общество и толкуютъ объ ученыхъ предметахъ, ничего не понимая. Онѣ готовы подхватить всякое новое словцо для того, чтобы хвастаться, завлекать, нравиться пріѣзжимъ чиновникамъ и прослыть за умныхъ женщинъ. Но у нихъ все-таки можно вздохнуть свободнѣе. Только для меня, говорилъ онъ, это знакомство непонутру: вотъ уже цѣлый годъ бьюсь съ президентомъ—требую объясненія, а онъ поитъ водкой, въ карты сажаетъ играть, а заговоришь о дѣлѣ, онъ захохочетъ и скажетъ: дѣло не собака, въ лѣсъ не уйдетъ. Хочу отказаться—чортъ съ нимъ!»

Въ городѣ же С. про этихъ людей ходятъ самые нелѣпые толки, вѣроятно, потому, что они сами въ гости не ходятъ ни къ кому, кромѣ родни, и къ себѣ с—цевъ не зовутъ.

Домъ въ пять этажей.

Попалъ я въ управляющіе вотъ какимъ манеромъ. Есть въ Питерѣ купецъ. Онъ тѣмъ и наживаетъ деньги, что дома строитъ и эти дома продаетъ, а этому купцу былъ знакомъ мой хозяинъ, у котораго я, живя въ Крыму, сверхъ коронной службы, занимался частно... Только какъ-то зимой патронъ и говоритъ мнѣ: «парень, поѣдемъ, я тѣ покажу Питеръ. Я, говоритъ, проживу въ немъ года полтора и, коли хошь, на службу опредѣлю

и свои занятья дамъ...» Ну, я и обрадовался: фортуна, значитъ, повезла.

Нечего и говорить о томъ впечатлѣніи, какое произвела на меня столица. Прежде я живалъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ всего-то людей человѣкъ сто, а въ Питерѣ вонъ и въ пятиэтажныхъ домахъ по триста человѣкъ живетъ. Страсть!

Прожилъ я годъ весело и на службу ходилъ въ департаментъ, и съ разными домовыми управляющими познакомился. Живутъ они хорошо, денегъ тратятъ много и все-таки деньги имѣютъ: потому что важные домовладѣльцы въ свои дѣла не вступаются. А управляющему и пожива: напримѣръ, въ домѣ сорокъ квартиръ, и всѣ квартиры заняты, а управляющій отдаетъ домовладѣльцу деньги за тридцать или тридцать пять квартиръ, да ремонтъ одинъ приноситъ имъ большія выгоды. Слушаю-послушаю ихъ—зависть беретъ: и жалованье они получаютъ, и квартиру имѣютъ готовую, а я изъ департамента получаю двѣнадцать цѣлкачей да за квартиру съ содержаніемъ издерживаю до тридцати рублей: а тутъ какъ разъ горе: дѣла̀ моего патрона пошли скверно... И сталъ я проситься въ управляющіе домами. Патронъ и исхлопоталъ къ знакомому купцу-аферисту, что̀ дома строитъ. Этихъ господъ, впрочемъ, много въ Питерѣ.

Иду, сердце замираетъ оттого: приметъ или нѣтъ; а если приметъ?.. Подхожу: домъ четырехъэтажный, выходитъ на двѣ улицы; въ первомъ этажѣ лавки, магазины, надъ ними вывѣски; два подъѣзда, двое воротъ. Кругомъ воротъ вывѣски, бумажки съ надписями приколочены. У однихъ воротъ ручка отъ звонка; позвонилъ, никто не является... Пошелъ дальше: дворъ узкій, большой, кругомъ сперва сараи каретные, ходы въ подвалы или чердаки, а какъ кверху взглянешь, сдѣлается больно: пять этажей, окна то ниже, то выше противоположныхъ... Надъ крыльцами кое-гдѣ вывѣски, нумера квартиръ 7, 11, 12, 20, и т. д. Во дворъ то-и-дѣло приходятъ разные торгаши, шарманки; изъ крылецъ выходятъ бѣдно-одѣтыя женщины, подмастерья и т. д. «Вотъ, думаю, пожива-то будетъ!...» Ищу дворницкую, кое-какъ отыскалъ въ подвалѣ; темнота, ступеньки скользкія, чуть шею не сломилъ. Дверь заперта на замокъ... Стою я у дворницкой, противъ прачечной, находящейся въ подвалѣ, считаю окна и думаю: какъ же съ улицы домъ четырехъэтажный? а во дворѣ пятиэтажный? Диво! Вдругъ выходитъ изъ одного подвала дворникъ съ огромной вязанкой дровъ. Я подошелъ къ нему.

— Скажи, любезный, дома хозяинъ?

— Кто?

— Хозяинъ дома?

Дворникъ презрительно поглядѣлъ на меня и отплюнулъ въ сторону.

— На что?

— Нужно.

— Отъ кого?

— [illegible] отъ себя, говорю.

— [illegible]а, уѣхамши.

Однако я и безъ дворника доискался хозяина и пришелъ на другой день.

Онъ меня принялъ важнымъ манеромъ, распросилъ, кто я такой, объявилъ, что беретъ меня, далъ разныя наставленія.

Онъ мнѣ назначилъ гдѣ-то квартиру въ десять рублей съ его дровами; потомъ подалъ мнѣ два пальца лѣвой руки, но въ это время пришелъ толстый дворникъ изъ татаръ съ книгой подъ лѣвой мышкой. Домовладѣлецъ велѣлъ ему проводить меня въ мою новую квартиру.

Пошли мы грязной, темной лѣстницей. На дверяхъ дощечки или мастеровъ, или съ фамиліями квартирантовъ. Въ третьемъ этажѣ дворникъ показалъ мнѣ на двери и сказалъ:

— Хозяинъ живетъ. По одной лѣстницѣ съ нимъ фатера вамъ. Завсягды ходить близко.

Чѣмъ выше я поднимался, тѣмъ больше мнѣ не нравилась лѣстница: узкая, съ частыми поворотами; темно, и душно, и грязно. Наконецъ, тузъ отворилъ двери. Въ кухнѣ обоевъ нѣтъ, сыро, плита лопнула. Изъ кухни два хода въ комнаты. Три комнаты: одна большая съ обоями, другая тоже большая безъ оконъ, третья узкая безъ обоевъ, съ отпадавшей штукатуркой, гнилыми рамами, прогнившимъ въ переднемъ углу поломъ.. Въ этой сырой комнатѣ я предложилъ сдѣлать кабинетъ, въ темной спальню, въ большой—чистую.

— Жильца пускать можно,—сказалъ мнѣ дворникъ, размахивая рукою въ большой комнатѣ съ обоями и хваля всю квартиру.

— Здѣсь, должно-быть, холодно?—спросилъ я.

— Дрова хозяйски: пали!

Скоро я переселился. Домовладѣлецъ надавалъ мнѣ разныхъ книгъ, тетрадокъ и бумагъ. Квартирныя книжечки онъ велѣлъ приносить мнѣ каждый мѣсяцъ и сказалъ, что все, что въ нихъ напечатано, я долженъ неуклонно исполнять.

Пришли ко мнѣ три дворника: они поздравили меня, а одинъ молодой ухарскій дворникъ попросилъ на чаекъ.

— Что вы дѣлаете?—спросилъ я дворниковъ.

— Работы много-съ... 30 квартиръ... Умаешься какъ собака... А самъ ничего не платитъ. Бѣдные жильцы по мелочи платятъ, а сами знаете, бочка воды въ мѣсяцъ стоитъ тридцать рублей.

— Ну, а старшій что дѣлаетъ?

— Онъ лежитъ. Онъ старый дворникъ: мы отъ него опредѣляемся; какъ кто не понравится изъ насъ—прогонитъ. И отъ квартирантовъ, что есть, деньги себѣ беретъ, а самъ жалованья получаетъ пятнадцать.

— Зато, что въ кварталъ ходитъ,—сказалъ другой дворникъ.

Сталъ я перебирать книги, читаю: цѣна квартирамъ разная: есть и три тысячи въ годъ, а самая дешевая моя—десять рублей. Много книжекъ печатныхъ, вѣроятно, для того, чтобы жильцы вполнѣ повиновались домовладѣльцу: на концѣ второго листка, которымъ оканчиваются взаимныя условія, подобныя контрактнымъ, подпись (сперва нанима-

теля, потомъ домовладѣльца). Захотѣлось мнѣ, какъ управляющему домомъ, самому поглядѣть, что за квартиры, и съ какими квартирантами я буду имѣть дѣла. Пошелъ въ противоположный нумеръ, что на одной со мною лѣстницѣ. Въ кухнѣ бѣлье стираютъ, кто-то гдѣ-то ругается, кто-то поетъ.

— Развѣ здѣсь можно стирать? На это прачечная есть,—сказалъ я и объяснилъ, что я новый управляющій.

— Да я пеленки...—отвѣтила мнѣ кухарка дерзко.

— Нѣтъ, говорю, не пеленками пахнетъ...

Изъ комнаты вышла молодая женщина съ ребенкомъ.

— Ну, ужъ и квартира! Платимъ двадцать рублей, а чердака нѣтъ, отхожее мѣсто для четырехъ квартиръ, грязь, въ теплую погоду некуда поставить сливокъ... А тоже какія-то книжонки надавали: значится для 21 № и чердакъ и отхожее мѣсто... Пожалуйста, скажите хозяину. Здѣсь такая стужа, сырость... Отъ этого ребенокъ хвораетъ. Посмотрите, заслонки кое-какъ держатся.

Пошелъ въ другую квартиру: дрова колютъ въ кухнѣ. Мнѣ объяснили, что дворникъ, подлецъ, деньги беретъ, а дровъ не колетъ.

— Деньги, небось, полтора рубля исправно беретъ, а какъ воды принести, такъ разъ десять нужно сходить въ дворницкую,—жаловался какой-то господинъ.

Здѣсь жилъ отставной рубака съ содержанкой.

Въ третьей квартирѣ осмотрѣлъ я комнаты—сыро, воняетъ чѣмъ-то нехорошимъ, стѣны плохо оклеены. Здѣсь была золотошвейная, и за эту квартиру платили тридцать два рубля. Пришла немолодая женщина и стала жаловаться на одного квартиранта, который ей уже другой мѣсяцъ не платитъ денегъ.

Въ одной квартирѣ, сдѣланной вровень съ верхними чердаками, гадко: прачка живетъ, да двѣ какія-то бабы.

Зашелъ въ № третьяго этажа, лакей сказалъ: квартиру мнѣ смотрѣть не слѣдуетъ: не прилично... На этомъ я и покончилъ осмотръ.

На другой день пошелъ къ хозяину и обсказалъ ему жалобы жильцовъ. Онъ закричалъ:—Это еще что за новость? Какіе еще имъ чердаки для бѣлья, поправки за эдакія деньги: я сорокъ рублей въ сутки получаю доходу, да и тутъ живу безъ поправокъ. Они даже и деньги исправно не платятъ. Вотъ въ квартирѣ № 8 да № 5 нужно будетъ позаботиться поправкой. Я думаю тысячи двѣ уйдетъ... А тутъ еще мостовую нужно чинить... Разоренье! Сходите въ кварталъ, представьтесь, для того, чтобы васъ знали... Съѣздилъ; приняли любезно; кого нужно угостилъ въ трактирѣ.

Итакъ началъ я свою службу. Хлопотъ и возни съ жильцами пропасть: перваго числа пойдешь за деньгами—они уже знаютъ и боятся, и, если кто имѣетъ, отдаетъ и изъявляетъ претензіи на дворниковъ, на то, что они за прописку паспортовъ берутъ вдвое и втрое, не носятъ исправно дрова и воду. Но я, видя труды дворниковъ, только говорилъ: хорошо, постараюсь! У кого не было денегъ, тѣ прятались, я не смѣлъ грозить имъ выѣздомъ изъ квартиры, потому что въ этомъ случаѣ они бы вовсе не отдали денегъ, а захватить у нихъ нечего, да и какъ-то неловко. Кои отдавали, заложивъ вещи, а кои съѣзжали. Жильцы у насъ находились, потому что противъ другихъ домовъ квартиры дѣйствительно дешевыя, напримѣръ № 27 на солнечной сторонѣ, въ три свѣтлыхъ комнаты, съ отдѣльными ходами, отдается за пятнадцать рублей. Да и въ эту цѣну у насъ есть еще три квартиры, только солнышко попадаетъ въ кухни. Кромѣ этого, смотрѣвшимъ квартиры всегда говорили: здѣсь самъ управляющій жилъ, квартира сухая, теплая, дровъ зимой уходитъ не больше сажени... Дворники то-и-дѣло жаловались на жильцовъ: то жильцы не платятъ имъ денегъ, то ругаютъ ихъ, то имъ нужно таскать по ночамъ пьяныхъ жильцовъ въ пятый этажъ. Ну, просто я не зналъ, что и дѣлать!.. Принялъ крутыя мѣры: если жилецъ пожалуется на дворника, я призову дворника, распеку за неисправности и скажу, чтобы онъ носилъ дрова и воду.

— Денегъ не платятъ,—скажетъ дворникъ.

— Не носи.

Жильцы стали жаловаться домовладѣльцу, тотъ призвалъ меня и распекъ. Я объяснилъ, въ чемъ дѣло. Онъ объявилъ: дворники мнѣ дороже, они домъ оберегаютъ, и сказалъ, что ему не нравится одинъ дворникъ зато, что онъ амурится съ прачкой,—и приказалъ мнѣ прогнать прачку.

Порядокъ у насъ былъ соблюдаемъ въ точности: деньги я получалъ исправно, подрядчики не дополучали, дворники трезвые, въ праздники одѣваются прилично, съ жильцами нижнихъ этажей вѣжливы, послушны, и мною строго наказано каждому дворнику, какъ можно, стараться угождать важнымъ жильцамъ, а мелкую шушеру можно и обойти, потому она платитъ немного. Если имъ и будутъ носить воду изъ каналовъ, то вѣдь они ничего не смыслятъ... Также я приказалъ, по волѣ домовладѣльца, чтобы зимой всѣ жильцы платили дворникамъ по 60 коп. въ мѣсяцъ за освѣщеніе керосиномъ ихъ лѣстницъ. Они согласны. Двое заартачились, да хозяинъ велѣлъ отказать имъ отъ квартиръ,—согласились. Я, впрочемъ, пользуюсь и даровымъ свѣтомъ, потому-что я управляющій. Въ часъ я приказываю запирать ворота и не пускать никого во дворъ, и до часу моя кухарка то-и-дѣло звонитъ дворниковъ для того, что я де дома и нахожусь въ исправности... Мнѣ забавно, что дворники разъ двадцать поднимутся ко мнѣ на сто восьмую ступеньку отъ крыльца...

Да какъ погляжу я изъ окна въ то время, какъ у насъ во дворѣ играютъ музыканты,—сердце радуется! чуть не изъ каждаго окна глядятъ жильцы. И все это моимъ умѣньемъ ладить съ жильцами столько народу обитаетъ въ домѣ. Съ кухарками и прочими имѣющими адресные билеты чернорабочими—живетъ въ домѣ двѣсти сорокъ два человѣка. Чуть не полъ-городишка! И вся челядь четвер-

*

таго и пятаго этажей заискиваетъ моего расположенія, труситъ меня, гніетъ въ своихъ лачугахъ. Въ нижнихъ этажахъ живутъ все люди превосходные, богатые. Вотъ ими-то мы и дорожимъ... Если и потребуется поправки на тысячу рублей, такъ вѣдь они платятъ не двадцать рублей, а двѣсти—триста въ мѣсяцъ. А люди почтенные, важные; придешь за деньгами, такъ чрезъ лакея передадутъ: что де я? будто не знаютъ сами... Случается, у такого господина и подождешь, зато разомъ сто или двѣсти получишь...

Дѣлъ пропасть; на должность хожу три раза въ недѣлю; много и знакомыхъ изъ управляющихъ, только я знаюсь съ такими, отъ которыхъ можно кое-какую пользу пріобрѣсти. Иногда даже и вечеромъ бываю занятъ. Только жалованье маленькое, хочу искать другого домовладѣльца: этотъ скряга и во все самъ вмѣшивается. Для образчика я приведу нѣсколько примѣровъ.

Разъ приходитъ ко мнѣ человѣкъ въ мужицкихъ сапогахъ и пальто. Думаю подмастерье. А мы подмастерьевъ не пускаемъ, а мастеровъ съ вывѣсками. Расхорохорился: я, говоритъ, сотрудникъ «Петербургскаго Листка», и почему де дворники спрашиваютъ: чѣмъ я занимаюсь? Гдѣ де я служу? Я обрадовался, что въ домѣ будетъ жить такое знаменитое лицо, которое посредствомъ газеты можетъ и мнѣ извѣстность сдѣлать. Доложилъ хозяину, а онъ и говоритъ: эти писаки—пьяницы, собаки; спроси его, имѣетъ ли онъ чинъ и изъ дворянъ ли, а если нѣтъ—не надо таковыхъ.

Стыдно сказать: канцелярскій служитель оказался. Ну, и не пустили...

Разъ онъ призываетъ меня къ себѣ и говоритъ: Представьте, въ № 25 дворникъ проситъ за воду по два рубля, а жилецъ даетъ рубль.

— Потому что теперь дровъ для нихъ не требуется: они изъ кухмистерской получаютъ кушанье. Они наняли посторонняго человѣка носить воду.

— Безпорядки! не дозволять!! какъ они смѣютъ распоряжаться? Въ случаѣ, если не дадутъ 2 руб. за воду, прогнать.

— Они деньги вчера отдали впередъ за весь мѣсяцъ.

— Гдѣ они такой законъ нашли, чтобы я имъ отдалъ назадъ ихнія двадцать рублей? Я съ васъ взыщу.

А разъ вдругъ приходитъ ко мнѣ самъ въ первый разъ; онъ ни къ кому изъ верхнихъ жильцовъ не ходилъ. Мы, т. е. я, жена, кухарка перетрусились.

— Какая у васъ вонь!.. фи! мерзко!..—говорилъ онъ.

— Сыро-съ. Стѣны тонки, такъ что домъ трясется, да и домъ еще не просохъ совсѣмъ.

— А вотъ подойдите-ка ко мнѣ. Я подошелъ; онъ подвелъ меня къ окну; спросилъ: кто живетъ? я сказалъ. Я зналъ всѣхъ квартирныхъ хозяевъ, такъ же какъ и дворникъ, а кто у нихъ жилъ—всѣхъ не запомнишь.

— Нѣтъ, тутъ дѣвки живутъ!—сказалъ домовладѣлецъ строго. Я самъ своими руками поймалъ ее съ двумя мужчинами въ воротахъ... Дознать все и отправить въ кварталъ...

Сталъ я сидѣть у окна. Разъ вижу, противъ меня у растворенного окна, сидитъ молодая женщина, недурной наружности, и дѣлаетъ кому-то поцѣлуй рукой, глядя въ третій этажъ, что подъ мной... Взорвало меня, и я пошелъ къ ней.

— Сударыня, вы компрометируете себя вашимъ поведеніемъ... Хозяинъ дома очень недоволенъ вами,—сказалъ я.

— Вотъ прекрасно! Я плачу деньги впередъ за мѣсяцъ исправно и вольна дѣлать, что хочу!

Доложилъ домовладѣльцу: велитъ гнать, да она изъ бойкихъ: дожила мѣсяцъ.

Кабаковъ въ нашемъ домѣ нѣтъ. Былъ кабакъ, да мастера и ихъ рабочіе пьянствовали очень и долго по ночамъ пѣсни орали. Никакъ имъ это не могли запретить ни я, ни кварталъ. Спасибо, жилецъ изъ бельэтажа попросилъ хозяина закрыть кабакъ; закрыли, а потомъ и прогнали кабатчика. Одинъ только негодяй живетъ въ подвалѣ: слесарь. Онъ и рабочіе его помѣщаются въ душной, темной и мокрой лачугѣ. Пьянствуютъ, дерутся...

Что касается насчетъ хорошаго воздуха въ конурахъ, такъ домовладѣлецъ говоритъ: это дѣло не наше: пусть сами заботятся, чтобы у нихъ чисто было, а форточки въ окнахъ для нихъ дѣлать не стоитъ. И то ужъ какой-то жилецъ вдругъ выдумалъ вливать въ отхожее мѣсто ждановскую жидкость; домовладѣлецъ прозвалъ его подлецомъ и приказалъ мнѣ объявить ему: чтобы онъ не смѣлъ больше лить зелья; еще пожаръ надѣлаетъ... А впрочемъ, домовладѣлецъ жидкость у себя употребляетъ и разъ даже мнѣ двѣ бутылки подарилъ: я, говоритъ, прогрессистъ, человѣкъ неотсталый и нахожу ее полезною, потому-что она воздухъ очищаетъ въ моемъ кабинетѣ.

Вотъ какимъ я управляю домомъ. Хорошъ хозяинъ: любитъ порядокъ, и главное жильцы люди порядочные. Я думаю, чего-нибудь да стоитъ домъ! И если я самъ буду имѣть такой домъ, то именно такіе же порядки заведу. Только ужъ я бы на свои удовольствія не тратилъ, какъ онъ, по тысячѣ рублей въ мѣсяцъ... Я бы и эти чердаки, что покрываютъ желѣзныя крыши, превратилъ въ комнаты, авось бы тысченку еще сколотилъ въ годъ...

Былыя чудеса.

Въ былое время почти во всей П—ской губерніи никто не слыхивалъ о пожарныхъ машинахъ и прочихъ способахъ тушенія пожаровъ, а только, съ незапамятныхъ временъ, существовалъ обычай бить тревогу въ церковные колокола, которые, особенно по ночамъ, наводили ужасъ на всѣхъ обывателей городовъ и селеній. Мало-по-малу, стали вводить по городамъ трещотки; на крышахъ маленькихъ деревянныхъ домовъ стали появляться кадки съ швабрами, кадки окрашенныя и неокрашенныя, съ

водой и безъ воды; заводились и машины. Но, не смотря на эти строгія мѣры, пожары бывали и бываютъ, и бдительное начальство, сваливая вину на лиходѣевъ, неусыпно заботится о томъ, чтобы всѣ заблаговременно припасали средства къ тушенію пожаровъ.

Каковы эти мѣры, и дѣйствительно ли начальство увѣрено, что жители городовъ и селеній обезопасили себя отъ раззоренія отъ пожаровъ, я разскажу два факта.

Разъ, въ подгородномъ волостномъ правленіи получилась бумага такого содержанія: «Въ видахъ охраненія интересовъ обывателей, предписывается Подгородному волостному правленію немедленно приступить къ постройкѣ пожарнаго депо и содержать изъ обывателей постоянно исправную пожарную команду».

— Что жъ это?—спросилъ волостной старшина писаря, выпучивъ глаза.

Писарь, прочитавъ, молча передалъ старшинѣ бумагу.

— Какъ ты смѣкаешь?.. Не сходить ли къ отцу Якову?—говорилъ старшина.

— Постой... Это, чать, подать новая... Надо собирать.

— Чего?.. съ кого собирать-то? за что?

Пошелъ старшина къ отцу Якову; тотъ сказалъ: Что-то, братъ, мудрено... Въ первый разъ слышу... Ты бы спросилъ станового.

— Боязно... Ты бы отецъ Яковъ, похлопоталъ; мы ужъ всѣмъ міромъ тебѣ...

Становой приставъ былъ человѣкъ старый. Онъ тоже получилъ предписаніе объ этомъ предметѣ и ужъ отписалъ своему начальству, что «все обстоитъ благополучно, и по розыскамъ его, виноватыхъ въ пожарахъ не оказалось, а на счетъ сбора, упомянутаго въ предписаніи, онъ употребитъ все свое стараніе».

Старшина ничего не предпринялъ, а цѣлую недѣлю читалъ бумагу и совѣтовался съ писаремъ; наконецъ, сталъ собирать съ крестьянъ деньги.

— Палата требуетъ... Амбаръ, слышь ты, хочетъ строить, чтобы туда воровъ садить, кои по дорогамъ бѣгаютъ,—объяснялъ старшина крестьянамъ.

— Какихъ воровъ?.. А становой-то что? Это съ насъ други деньги проситъ,—галдѣли крестьяне.

— Слышь, въ бумагѣ что писано: воры, баютъ, дома зажигаютъ.

— Эко дѣло! А у насъ, Богъ милостивъ, когда дома-те горѣли?.. Читай бумагу.

Старшина прочиталъ.

— Война!—рѣшили крестьяне.

— Безпримѣнно война... Только что же пожары-то тутъ?.. Строить, слышь ты, велѣно чево то!

Такъ ничѣмъ и не рѣшили. Пріѣхалъ въ село самъ управляющій палаты имуществъ и спросилъ старшину о пожарныхъ машинахъ и депо; тотъ въ ноги поклонился начальнику.

— Помилосердуй... Ослободи...

Управляющій назначилъ новаго старшину, и черезъ два мѣсяца, въ волостномъ правленіи былъ полученъ указъ съ планомъ на постройку пожарнаго депо. Старшина объяснилъ, что начальство требуетъ построить избу на самомъ тракту, въ срединѣ села.

— Почто же это?—спрашивали крестьяне.

— Поди, спрашивай начальство-то!.. Велѣно.

— Походъ, баютъ, будетъ: солдатъ повезутъ: такъ велѣно избу строить,—объяснилъ писарь.

— Наказанье! Ишь, прежде солдатъ-то по избамъ размѣщали, а теперь особо хотятъ... Это ладно. А кто избу-то будетъ строить?

Однако, мало-по-малу построили избу. Изба не годится, построили по плану изъ досокъ не высокое зданіе безъ оконъ съ двоими дверьми, стѣны покрасили желтой краской, а крышу красной. Обыватели любуются новой доминой и ждутъ: что-то будетъ? Вотъ становой посадилъ въ нее двухъ конокрадовъ и караулъ приставилъ къ дверямъ; немного погодя, общество наказало розгами въ амбарѣ своего члена.

Вдругъ привезли въ село машину. Всѣ обыватели собрались къ этому чуду, но близко подойти боятся.

— Подойдите, эта штука пожары тушитъ,—сказалъ привезшій машину.

— Ишь ты!.. Тутъ, поди, грѣшникъ (преступникъ) самый страшный сидитъ...

Наконецъ, привезшій машину сталъ пробовать: вода далеко брызнула.

Обыватели хохочутъ, ругаются и каждый старается попробовать, но, на первыхъ порахъ, было страшно подойти.

Эту машину никто не взялъ, а заперли ее въ амбаръ на ночь и караульныхъ приставили.

—Уйдетъ.

Наконецъ и запирать ее перестали: не уйдетъ, потому сама ишь какъ плещется.

Однако становой эту машину взялъ къ себѣ.

Пріѣхалъ новый становой приставъ, сталъ требовать машину;—не оказалось.

—Убѣгла,—отвѣчалъ старшина, и это подтвердилъ тѣмъ, что она даже шевелится сама! Убить хотѣли, да боязно, какъ бы грѣха какого не случилось!

Новый становой убѣдилъ подгородныхъ жителей, что они должны постоянно держать въ амбарѣ бочку съ водой, двѣ лошади...

Задумались обыватели надъ такой новинкой; для чего же это лошади, да еще бочка?.. Диво. Однако бочку достали, вкатили въ амбаръ, а лошадей никто не хотѣлъ дать.

Такъ и стоялъ этотъ амбаръ на тракту, а если кто изъ проѣзжающихъ спрашивалъ; а это что такое? ему отвѣчали: для пожару. Но въ амбарѣ была только одна пустая, новая бочка. Зато, когда въ село пріѣзжало начальство, то въ депо стояли на дровняхъ бочка съ водой, машина и двѣ лошади.

— Молодцы, молодцы, благодарю... — говорило начальство и уѣзжало.

Случился въ селѣ пожаръ. Загорѣлся сарай. Всѣ перепугались, побѣжали къ горящему дому, горѣлъ

уже другой домъ. Воды въ селѣ близко нѣтъ, поэтому обыватели стали ломать избушки, суетились, охали, стонали, а колоколъ на церкви еще болѣе раздиралъ слухъ. Становой, прибывши на пожаръ, кричалъ:

— Машину, скорѣй! бочку!

Но эти слова еще болѣе разстроили обывателей: всѣ побѣжали въ свои дома, толпа забѣжала въ амбаръ, покатила бочку, бочка разсыпалась.

— Вотъ и собирай... Ахъ бѣда!! — говорили крестьяне.

Становой велѣлъ передрать виновныхъ въ изломаніи бочки. Привезли отъ станового машину. Машина безъ воды... Становой плюнулъ и велѣлъ везти назадъ машину: еще испортятъ, — подумалъ онъ.

Сгорѣло пять избъ; старались всѣ, но пользы не было... Въ пожарномъ депо и теперь днемъ бѣгаютъ четвероногія животныя. Теперь въ него уже не садятъ виновныхъ, потому-что одинъ выломалъ доску и убѣжалъ; только странницы по ночамъ отдыхаютъ въ немъ.

Былъ я въ Ч. Тамъ, на крутомъ берегу рѣки, я сидѣлъ съ квартальнымъ надзирателемъ и еще однимъ пріѣзжимъ чиновникомъ. Сидѣли мы толковали о чемъ-то; однимъ словомъ, благодушествовали на просторѣ и отъ нечего дѣлать. Впереди виды великолѣпные, позади насъ высокія крыши. Вдругъ подбѣгаетъ къ намъ солдатъ изъ евреевъ и кричитъ квартальному:—пожаръ!

Квартальный опреметью побѣжалъ, сказавъ намъ: бросьте папиросы! Мы, т.-е. я и чиновникъ, удивились такому приказанію, потому что находились вдалекѣ отъ строеній, въ самомъ безопасномъ мѣстѣ, да и въ то время уже дозволено было курить на улицахъ. Меня удивило то, что не бьютъ въ набатъ, и мы пошли. Дѣйствительно, надъ домами валилъ густой дымъ, на крышахъ около кадокъ стоятъ ребята и мужчины и спрашиваютъ другъ друга.

— Не видать?

— Далеко гдѣ-то?..

— Господи вотъ напасть!..

Пошли улицей; квартальный попался навстрѣчу.

— Лѣсъ горитъ. Верстъ шесть отсюда, — сказалъ онъ запыхавшись.

Мы пошли; попался намъ исправникъ.

— Гдѣ горитъ?—спросилъ онъ квартальнаго.

Тотъ объяснилъ.

— Вѣрно ли?

— Самъ смотрѣлъ.

— Нѣтъ, я ужо самъ... Не желаете ли, господа?—сказалъ исправникъ намъ; мы пошли.

Вошли въ большой дворъ. Назади двора стоитъ сарай; передъ сараемъ длинная лѣстница привязана къ высокому столбу и походитъ на скворешникъ. Вверху ея стоитъ солдатъ; налѣво противъ сарая у заплота стоитъ чугунный чанъ; въ чану воды нѣтъ.

— Гдѣ?—спросилъ исправникъ солдата.

— Далеко...—отвѣчалъ тотъ.

— Это наша пожарная,—сказалъ мнѣ исправникъ. Я удивился.

— А чанъ на что?

— А въ него мы воды наливаемъ. Ивановъ, что же ты, мерзавецъ, воды не налилъ? Какъ ни поглядишь—все нѣтъ воды. Да!.. У меня пожарная въ исправности. Вонъ тамъ (и онъ указалъ на сарай) хранятся двѣ машины, а лошадь у меня на квартирѣ.

— Ну, а если пожаръ будетъ?

— Такъ что?.. Тогда мнѣ доложатъ, я велю запречь лошадей, велю ѣхать къ рѣкѣ; да и первыхъ встрѣчныхъ мужиковъ велю остановить и ѣхать за водой: гдѣ хошь, достань мнѣ воды! хоть въ подолѣ, да принеси...

— Да вѣдь рѣка-то подъ горой.

— Ничего... У насъ пожары рѣдки... Да и мы дѣйствуемъ отлично: другому дому не дадимъ сгорѣть: по бревнышкамъ разберемъ.

— Ну, а эта лѣстница?

— Я ужъ распорядился, чтобы инвалидные чередовались: эдакъ, черезъ часъ бы посматривали: только все неисправно. Да и на соборной колокольнѣ есть сторожъ, только онъ... да вонъ онъ идетъ... Эй! Демидовъ... Ты что не на колокольнѣ?

— Къ отцу Степану ходилъ; обручи набивалъ.

— А на колокольнѣ?

— Часы...

Всѣ расхохотались. Часы, дѣйствительно, тенькали ежеминутно. Эти часы старинные и на смазку ихъ колесъ, говорятъ, выходитъ ежегодно цѣлая бочка дегтю, и они, вѣроятно, остановятся, потому что въ городѣ не осталось ни одной гири: всѣ ушли къ часамъ.

Богъ милостивъ! хранитъ насъ!—говорятъ ч—скіе обыватели.

Гласный судъ.

На Невскомъ.

Полдень. Противъ Гостинаго двора, на панели, стоитъ куча народа въ разнообразныхъ костюмахъ,—куча не малая,—по крайней мѣрѣ человѣкъ сорокъ. Одни изъ нихъ стоятъ молча, другіе что-то говорятъ, третьи силятся протолкаться къ мѣсту происшествія, барыни низшаго разряда спрашиваютъ: что такое? Происшествіе—ни болѣе ни менѣе, какъ упавшая ломовая лошадь, которую, несмотря на печатныя правила, прибитыя на углахъ улицъ, тузитъ ямщикъ, а городовой въ парадной формѣ, говоритъ:

— Ишь, чтобъ вамъ поколѣть!.. Скорѣй... Запрегъ, небось, нужды нѣтъ, что приказъ... Вотъ я те въ кварталъ!

Мужикъ въ сѣрой поддевкѣ. Не стерпѣла околѣлая... Во ее какъ бы! *(Подходитъ къ ямщику).*

Мужикъ въ коричневой поддевкѣ. Соли бы?.. За хвостъ ее...

Тянутъ лошадь за хвостъ; лошадь шевелится,

но подняться не можетъ. Въ это время въ толпѣ сдѣлалось движеніе.

Чиновникъ. Проучить его... Мерзавецъ!..

Мужичекъ. Постегать бы? Ишь платки задумалъ воровать, чтобъ тѣ...

Городовой подходитъ къ кучкѣ и становится на цыпочки, для того, чтобы разсмотрѣть.

Купецъ. Возьми-ка его, почтенный, да представь. *(Держитъ за руку мальчика лѣтъ восьми, худо одѣтаго. Мальчикъ плачетъ. Въ одной рукѣ у него платокъ).*

Городовой *(строго)*. Ахъ ты!!.. Что?

Купецъ. Я заглядѣлся, а онъ платокъ изъ кармана вытащилъ шелковый.

Голосъ въ толпѣ. Поглядѣть бы, съ коего боку онъ шелковой... Страсть!

Городовой *(беретъ мальчика за руку)*. Я тебя! Я те пропишу!.. Пойдемъ.

Толпа увеличивается.

1-й голосъ. Еще мировой судья разсудитъ...

2-й голосъ. Какой?

1-й голосъ. Вы не слыхали?.. Ахъ, да, наши газеты что-то пріумолкли объ этомъ предметѣ.

Крестьянинъ *(женѣ)*. Крестись: новый миръ вышелъ.

Жена. Что ты?.. Ахъ кабы!..

Крестьянинъ. Чего кабы? А ты не калякай: гляди, цѣлъ ли у те узелъ-то?.. Кабы и насъ не повели...

Къ этому крестьянину подходитъ чиновникъ, что-то хочетъ ему сказать, но крестьянинъ самъ начинаетъ: Ваше благородіе! его къ миру?

Чиновникъ. Кого?

Крестьянинъ. Мальченку?

Чиновникъ. Не знаю. *(Уходитъ)*.

Жена крестьянина. Мало ли что болтали...

Приказчикъ *(купцу)*. Пустите мальчишку. Онъ у мастера живетъ: а сами знаете, мастеръ съ него строго взыщетъ за каждый часъ.

Купецъ. И знать ничего не хочу!.. Въ Сибирь хочу мерзавца.

Чиновникъ. Ну, за это въ Сибирь не сошлютъ: семь дней подъ арестомъ продержатъ.

Купецъ *(горячась)*. Кто вамъ сказалъ?

Чиновникъ. Теперь по новому.

Купецъ. По новому?.. Вы говорите по новому; а часть?

Чиновникъ. Упразднены. Нынче полиція ни при чемъ...

Купецъ *(хватаясь за голову)*. Неужели?.. А я... Ахъ!.. Почтенный! *(ищетъ городового; но городовой идетъ уже далеко, держа бичевку, которой связаны на спинѣ руки мальчика)*.

Толпа расходится.

Въ трактирѣ.

Въ комнатѣ съ органомъ и четырьмя столами, меблированной порядочно, за столомъ передъ диваномъ сидятъ: письмоводитель, чиновникъ и приказчикъ.

Приказчикъ. Нѣтъ, я смѣкаю: новый судъ будетъ не въ примѣръ лучше стараго, только что-то долго его нѣтъ.

Письмоводитель. И еще годика два подождете, а мы успѣемъ въ это время нажиться. А что касается до того, что онъ, какъ ты говоришь, лучше нынѣшняго, такъ я скажу, что въ твоей головѣ вмѣсто мозговъ вотъ это сидитъ *(указываетъ на пустой стаканъ)*.

Приказчикъ. Взятокъ не будетъ.

Письмоводитель *(горячась)*. Не будетъ?.. Кто тебѣ сказалъ?!.. Я тебѣ скажу: покуда земля вертится, дотуда взятки не искоренятся. Ты найди, укажи мнѣ хоть одного человѣка, который бы не бралъ.

Чиновникъ. Дуракъ ты—и больше ничего. *(Храбро)*. Я самъ былъ при открытіи окружного суда, чуча ты жареная!

Письмоводитель. Ну, такъ что жъ? Ну, хоть и будетъ...

Чиновникъ *(горячо)*. А что ты на это мнѣ скажешь: я вчера самъ *присутствовалъ* при судьбищѣ мирового судьи... Преотличная, братецъ, штука!

Письмоводитель *(звонитъ въ колокольчикъ)*. Не примѣнимо!

Чиновникъ. Примѣнимо, и очень!

Письмоводитель *(съ сердцемъ)*. Не примѣнимо!!

(Является половой, письмоводитель требуетъ водки).

Чиновникъ. Почему?

Письмоводитель. Невозможно. Судьи тонкостей не знаютъ: тонкости въ насъ—вотъ что!

Чиновникъ. Ахъ ты!.. Да ты бы послушалъ, что тамъ дѣлается! *(Цѣлуетъ пальцы лѣвой руки)*. «Ты кто? ты что?» Да, братецъ ты мой, такъ тебя закидаетъ вопросами, такъ спутаетъ... Куды тебѣ кисельничать!

Письмоводитель. Только что заговоритъ. А ты вотъ что скажи мнѣ: кто въ кварталъ беретъ? Городовой. Городовой, братецъ ты мой, всѣ улусы знаетъ и захочетъ представить мошенника—представитъ, не захочетъ—и шишъ! Да хоть и представитъ, такъ мировой... Куды! Никакой судъ правды не выпутаетъ.

Чиновникъ. Выпутаетъ! Воры искоренятся.

Письмоводитель *(свиститъ)*. Ахъ ты простота! Да возьми Англію!

Чиновникъ *(горячо)*. Англія намъ не примѣръ: мы русскіе.

Письмоводитель. Потому мы и умнѣе всѣхъ иностранцевъ на этотъ счетъ: да ты спроси меня, какія я штуки могу сдѣлать? Поставь меня передъ мирового—онъ или ничего отъ меня не добьется, или я ему самъ надаю такихъ вопросовъ, что онъ и не радъ мнѣ будетъ.

Чиновникъ. Хвастай!

Письмоводитель. Не вѣришь? А я тебѣ скажу, что мировыхъ и всѣхъ этихъ новыхъ господъ, которыхъ я очень не долюбливаю, непремѣнно нужно было бы предварительно у насъ прошпиговать, а иначе они только все сгадятъ.

Чиновникъ. Это ты говоришь потому, что теперь нѣтъ вамъ такой воли, какъ прежде.

Письмоводитель. Вовсе не потому. Я говорю, что въ настоящее время этотъ новый судъ не примѣнимъ къ русскому народу: путаница пойдетъ такая, что поневолѣ свернутъ къ чему-нибудь другому; а мы свое возьмемъ, потому-что мы начало, суть и конецъ всему дѣлу.

Приказчикъ. А вотъ я подалъ ко взысканью...

Письмоводитель. Дуракъ. Съ тебя потребуютъ.

Приказчикъ. Э-во! Съ какой стати, когды у меня документъ есть...

Письмоводитель А ты бы къ намъ сунулся, мы бы обработали. Ну, конечно, и съ тебя бы взяли, а теперь тамъ такіе повѣренные есть, что заговорятъ тебя... Да если и присудятъ, такъ казна съ тебя проценты возьметъ—побольше нашего.

(Немного погодя, письмоводитель, приказчикъ и чиновникъ расходятся).

У мирового судьи.

Большая комната, отгороженная невысокими перилами. За перилами три стола, крытые сукномъ. Передъ перилами толпится народъ: обвиняемые, съ ними городовые, обвинители, свидѣтели, посторонніе.

Крестьянинъ виновный *(городовому)*. Пусти! Заставь Богу молиться.

Городовой молчитъ.

Мѣщанинъ. За что это его?

Товарищъ мѣщанина. Слышь, запрещенныя вещи продавалъ.

Крестьянинъ. Что жъ ему?..

Чиновникъ. Какъ долго! Прежде придешь на домъ къ письмоводителю, дашь—и обнадежитъ.

Другой чиновникъ. А дѣло оттянетъ! Вотъ интересно, какъ здѣсь?

(Изъ двери налѣво вышелъ судья въ пальто съ цѣпью на груди. Онъ оглядѣлъ публику, двое крестьянъ перекрестились, двѣ женщины, повидимому, кухарки, старались спрятаться за спины другихъ. Говоръ, затихшій при появленіи судьи, мало-по-малу началъ снова распространяться въ публикѣ).

Баба. Это при всѣхъ?

Другая. Нешто молчать?

Третья. Господи!.. Убѣгти бы... Всее истрясло: при всѣхъ!!. страсть!..

Судья. Господа! нельзя ли замолчать? Вонъ, прочтите *(показываетъ рукой на объявленіе. Человѣкъ десять подходятъ къ объявленію и читаютъ)*.

Судья. Кудряшевъ здѣсь?

Городовой *(дѣлая честь)*. Точно такъ-съ, ваше п-во!

Судья. Кудряшевъ, иди сюда и ты, городовой, съ нимъ.

(Обвиняемый и городовой вошли за перегородку и остановились передъ столомъ, у котораго стоялъ судья, перебирая бумаги).

Судья *(городовому)*. Гдѣ ты его взялъ?

Городовой. На Невскомъ проспектѣ, ваше п-во. Онъ торго...

Судья *(обвиняемому)*. Православный?

Обвиняемый *(бойко)*. Да.

Судья. Какого званія?

Обвиняемый *(бойко)*. Крестьянинъ, торгую фуражками на Апраксиномъ.

Судья. Постой: запрещенныя вещи продаешь?

Обвиняемый *(бойко)*. Никакъ нѣтъ.

Судья. Паспортъ?

Городовой. Безпаспортный.

Обвиняемый. Вретъ!

Судья. Такого-то числа продавалъ запрещенныя вещи?

Обвиняемый *(бойко)*. Никакъ нѣтъ.

Городовой. Что жъ ты отпираешься, коли я тебя самъ словилъ: ты крестьянину продавалъ.

Обвиняемый *(бойко)*. Вретъ! Я не продавалъ, а разговаривалъ.

Судья *(городовому)*. Ты его знаешь?

Городовой. Никакъ нѣтъ-съ, в. п-во.

Судья *(обвиняемому)*. Зачѣмъ ты эти вещи при себѣ имѣешь?

Обвиняемый *(бойко)*. Я ихъ купилъ ребятишкамъ забавляться, а онъ *(указывая на городового)* увидалъ ихъ, и привелъ въ кварталъ.

Городовой *(теряя терпѣніе)*. Да что ты врешь! Я самъ своими глазами услѣдилъ за тобой *(сердито)*. Ну, разѣ ты не мошенникъ?

Судья *(городовому)*. Тише!.. *(обвиняемому)*. Ну, значитъ, выходитъ, не продавалъ?

Обвиняемый *(крестится)*. Отсохни рука.

(Судья пишетъ; обвиняемый глядитъ бойко на судью; городовой правой рукой крутитъ усъ и флегматически смотритъ на окно).

Судья *(обвиняемому)*. А гдѣ ты живешь?

Обвиняемый *(бойко)*. Настоящей квартиры не имѣю.

Судья. Сколько въ сутки выработываешь?

Обвиняемый. Два рубля.

Судья *(обоимъ)*. Итакъ, больше ничего вы не можете сказать.

Оба. Точно такъ-съ.

Судья. Можете итти; Кудряшева не выпускать.

(Обвиняемый и городовой вышли).

Къ перегородкѣ подошелъ чиновникъ.

Судья. Что скажете?

Чиновникъ. Справедливости, в. в-во. У меня есть бѣдная тетка, она промышляетъ тѣмъ, что продаетъ хлѣбъ, а сестра ея находится въ бѣдности и поневолѣ пошла вчера просить Христа ради...

Судья. Вы свидѣтель?

Чиновникъ. Что-съ?

Судья. Здѣсь та женщина?

Городовой *(изъ толпы)*. Здѣсь *(подвигается къ загородкѣ со старушкой)*.

Судья. Въ чемъ виновата?

Городовой. Поймалъ въ Караванной: милостинку сбирала.

Судья. Свидѣтели есть?

Городовой. Никакъ нѣтъ-съ.

Судья *(чиновнику)*. Отойдите. Вы читали нашъ уставъ?

Чиновникъ. Не весь... Я прошу справедливости, защищаю, такъ сказать, бѣдную женщину.

Судья. Не горячитесь: я знаю свою обязанность. Потрудитесь выйти. *(Городовому)* Женщину я приговариваю за прошеніе милостыни на одну недѣлю подъ арестъ.

Городовой. Больше ничего-съ?

Судья. Судъ конченъ... А это что за мальчикъ?

Городовой. Портмоне вытащилъ.

Судья. Свидѣтели?

Два голоса. Я! я!

Судья. Подойдите. Публика, посторонитесь... Налѣво... Такъ. *(Мальчику)*. Воровалъ?

Мальчикъ *(со слезами)*. Воровалъ.

Судья. Кто твои родители? Отецъ кто?

(Мальчикъ молчитъ).

Городовой *(мальчику)*. Что жъ ты носъ-то уткнулъ? Нешто стѣнѣ говорятъ?

Судья *(городовому)*. Отойди. Ну, мальчикъ, ты помнишь своихъ родителей?

Мальчикъ. Ни...

Чиновникъ *(другому чиновнику)*. Это несправедливо...

2-й чиновникъ. Почему?

1-й чиновникъ. Потому что я пришелъ защищать бѣдную женщину, а онъ меня вонъ! Вѣдь я коллежскій асессоръ.

2-й чиновникъ. Значитъ по шеямъ? *(хохочетъ)*.

1-й чиновникъ *(горячась)*. Да если бы это было въ кварталѣ, я далъ бы въ зубы квартальному рубль, и бабу выпустили бы. Не примѣнимъ этотъ судъ!

2-й чиновникъ. Да вѣдь васъ не приглашали сюда?

1-й чиновникъ. Мало ли что? Я чиновникъ, дворянинъ, пользуюсь особыми правами.

Мѣщанинъ *(дворнику)*. А славно чиновника-то огрѣлъ!

Дворникъ. Что говорить!.. Я вотъ все гляжу и слушаю: диво! Ужъ при мнѣ два дѣла порѣшилъ. Скоро. Вотъ что-то мнѣ?

Мѣщанинъ. А у те что?

Дворникъ. Драка, значитъ, въ фатерѣ была, во свидѣтели требованотъ.

Мѣщанинъ. Такъ. А я вотъ мѣкаю: городовыхъ бы хорошенько спросить сперва, потому имъ воры какъ неизвѣстны? Тряхнуть бы ихъ.

Дворникъ. Что ты! Какъ можно! Попадешься... Ну ихъ...

Мѣщанинъ. Право...

Чиновникъ *(мѣщанину)*. Ты говоришь: городовыхъ; а дворники, что смотрятъ?

Дворникъ *(обидчиво)*. Чего дворникъ? Рази углядишь за всѣмъ-то? Работы страсть: караулы опять...

Мѣщанинъ. Караулы! Городовые вамъ поблажаютъ. Знаю!!

Судья *(переставая писать)*. Потише! *(Публика затихаетъ. Судья городовому)*. Мальчика подъ арестъ. А вы *(обращаясь къ одному приказчику)* должны въ теченіе двадцати четырехъ часовъ уплатить долгъ.

Приказчикъ. Гдѣ же я ихъ возьму?

Судья. Дѣло не мое. Или вы согласитесь подъ арестъ на одинъ мѣсяцъ.

Приказчикъ. Нѣтъ...

(Входитъ купецъ и прямо подходитъ къ перилам). Господинъ судья?

Судья. Подождите минуту.

Купецъ. Мнѣ некогда ждать—лавка!

Судья. Нельзя ли потише! Потрудитесь прочитать объявленіе *(указываетъ рукой)*.

Купецъ *(ворчитъ)*. А чтобъ васъ! Все побросалъ—бѣги!.. *(подходитъ къ объявленію и опять назадъ уходитъ)*.

Судья. Купецъ Харитоновъ!

(Купецъ подходитъ и отдаетъ повѣстку).

Судья. Вы пропустили срокъ; дѣло рѣшается... Вамъ послана повѣстка по другому дѣлу; вы ее получили?

Купецъ *(горячится)*. Да какъ же вы рѣшаете, коли я не явился... Я жаловаться буду.

Судья. Извольте... А такъ какъ я уже васъ предупреждалъ, что здѣсь вести себя нужно скромнѣе, то пожалуйте штрафъ три рубля.

Купецъ *(растерявшись)*. Да я такъ... Какъ же не то... Справиться бы?

Судья *(не обращая на него вниманія, подзываетъ одну барыню и чиновника и обращается къ чиновнику)*. Вы брали у нихъ деньги?

Барыня. Какъ же!

Судья *(барынѣ)*. Я спрашиваю не васъ...

Чиновникъ. Нѣтъ.

Судья *(показываетъ бумагу)*. А это вашъ почеркъ?

Чиновникъ. Мой, но я уже уплатилъ.

Барыня. Онъ безсовѣстный! Онъ послѣднія деньги у меня вытянулъ.

Судья. Вы чиновникъ, вы законы знаете: почему же вы не написали на роспискѣ, что вы уплатили?

Чиновникъ. Я думалъ, она честная.

Судья. Вы должны непремѣнно уплатить имъ деньги. *(Чиновницѣ)*. Я сообщу въ мѣсто его служенія. Можете итти.

(Чиновникъ и барыня уходятъ).

(Входитъ городовой съ крестьяниномъ. Крестьянинъ пьянъ. Публика хохочетъ).

Судья. Что тамъ?

Городовой. Пьянаго привелъ в. п-во, третьяго дня приводилъ къ вамъ.

Судья. На что же мнѣ пьянаго?

Крестьянинъ. На казенну фэ-ат-теру хочу!.. Работы нѣ... Стра!.. Сапоги укралъ... ей-Богу!!

(Публика хохочетъ).

Судья *(городовому)*. Хорошо. Ты видѣлъ, что онъ укралъ сапоги?

Городовой. Въ кабакѣ сказывали; заложилъ.

Судья. Заложилъ?

Городовой. Не знаю... Пропилъ, должно быть.

Судья. Хорошо; уведи его: пусть вытрезвится. (Публика расходится).

Чиновникъ *(въ дверяхъ)*. Непримѣнимо! Скоро, точно...

Мѣщанинъ. Дожили!

Крестьянинъ. Еще, знать, и не то будетъ: ишь какъ его крутитъ! Заговоритъ,—одно слово.

1-й купецъ. Держи карманъ! Такъ я тѣ и заплачу.

2-й купецъ. Заплатишь.

1-й купецъ. А мы подождемъ: вотъ будутъ ли еще тузы-то платить. Этта разговаривалъ съ Яковомъ Сидорычемъ, должищъ страсть. Да я, говоритъ, не отдамъ! Новому приставу сказалъ: не ходи—не пущу, а самъ и думаетъ какъ: въ Царское уѣхалъ, придетъ бумага въ Царское, онъ въ Петергофъ махнетъ, потомъ въ Питеръ, али Москву. И гоняйся за нимъ! А онъ все будетъ въ своемъ дому жить... Вотъ что!

Шилохвостовъ.

Подъ горой, близъ рѣки Дуги, протекающей мимо города П., назадъ тому нѣсколько лѣтъ стояли избушки и дома, построенные, кажется, при основаніи города. Эти дома и избушки были до того стары, что многіе изъ нихъ подпирались бревнами. Домохозяевами этихъ домовъ были рыбаки и харчевницы, а жили у нихъ круглый годъ бѣдные писцы, мѣщане, и лѣтомъ временно бурлаки и судорабочіе. Всѣхъ домовъ подъ горой было не болѣе тридцати, и они лѣпились другъ къ дружкѣ очень близко, потому-что въ ширину по горѣ строиться было нельзя, даже грядъ было мало оттого, что земля отъ дождей размывалась, и отъ нея часто отваливались порядочные камни; въ длину строиться тоже было некуда. Кромѣ этого, весною на низкихъ мѣстахъ вода заливала дома по окна. Какъ бы то ни было, несмотря на разныя неудобства, напримѣръ, на вѣтры и снѣгъ зимою, разливъ рѣки веснами, уносящій дрова и непривязанныя вещи, подмывъ домовъ отъ ручьевъ, льющихся съ горы отъ дождей,—обитатели слободы не думали переселяться въ другія мѣста. Здѣсь имъ былъ просторъ; здѣсь съ нихъ не спрашивали никакихъ городскихъ повинностей; они могли дѣлать все, и если падало какое-нибудь подозрѣніе на слободу, то виноватыхъ не оказывалось, такъ какъ всѣ слободчане, какъ бы они ни были злы на кого-нибудь изъ своихъ товарищей, другъ друга не выдавали. На это они имѣли свои причины, заключавшіяся главнымъ образомъ въ томъ, какъ говорится, что «отъ искры порохъ загорается». Рыболовствомъ занимались мужчины; женщины стряпали пельмени, пирожки, продавали пиво и водку. И такъ какъ у каждаго коренного обитателя слободки были, такъ сказать, свои занятія, свои трудовыя деньги, то иногда въ ссорахъ они энергично доказывали другъ другу свои права, которыя состояли въ томъ, *что ты мнѣ не указчикъ*. На основаніи вотъ этихъ-то правъ, у слободчанъ и сложилась жизнь, непохожая на городскую. А именно: женщины занимались преимущественно торговлею не только внизу, въ своей слободѣ, но и вверху, на городскомъ рынкѣ, ссорились съ верхними торговками, надували покупателей, умѣли съ однимъ весломъ переплыть рѣку, ловили дрова, когда шелъ ледъ и т. п. Мужчины не считали за грѣхъ украсть лодку, канатъ и все, что плохо лежитъ за чертою слободки, и главное—свободно торговали въ городѣ рыбой.

Днемъ не умолкали голоса женщинъ, а по вечерамъ голосили оба пола: жена доказывала мужу, что онъ подлецъ и она подлячка, поэтому они оба правы и другъ другу не должны мѣшать. Дѣло заключалось въ томъ, что въ слободкѣ, во-первыхъ, большинство домохозяевъ были раскольники, только на бумагахъ считавшіеся единовѣрцами, а во-вторыхъ, жизнь ихъ была такая, что они постоянно находились въ кругу народа, и напр. веснами предавались разгулу, а проникнуть въ ихъ внутреннюю жизнь постороннему человѣку было трудно, потому что въ мало-мальскомъ куражѣ посторонній человѣкъ, горожанинъ, которыхъ они ненавидѣли, улетѣлъ бы съ крыльца въ воду, а полиція знала только харчевни, да и то часто спорила съ служителями водяной коммуникаціи, которая нерѣдко простирала свои права на слободку, какъ на прибрежныхъ жителей.

Нечего и говорить о томъ, что слободчане были народъ крѣпкій, сильный, смѣтливый. Отъ этого происходило то, что горожане иногда побаивались рыбачить на рѣкѣ противъ слободки, а слободскіе ребята всегда хорошо поколачивали городскихъ даже на бульварѣ, и безъ крику выносили наказаніе розгами.

Обрисовавъ въ нѣсколькихъ словахъ характеръ слободки, авторъ приступаетъ къ разсказу.

Почти въ самой серединѣ слободки стоялъ ветхій домъ въ три окна и съ дверью, на половинкахъ которой ничего не было написано и нарисовано. Казалось, что этому дому житья только до первой грозы, но онъ такъ засѣлъ въ землю своими срубами, что выдерживалъ не только грозы, но и наводненія. Впрочемъ, хозяинъ дома, Василій Терентьичъ Шилохвостовъ, обвязалъ его толстой веревкой и эту веревку привязывалъ за сосновыя деревья, находившіяся на горѣ,—какъ это дѣлали и другіе домохозяева.

Шилохвостовъ былъ рыбакъ; въ то время, какъ у него родился сынъ отъ Маланьи Карповны, на которой онъ еще не былъ женатъ, ему шелъ двадцать четвертый годъ. Рыбакъ онъ былъ смѣтливый; зналъ чуть ли не всѣ мѣста рѣки на разстояніи тридцати верстъ, драчунъ былъ отчаянный, такъ что всѣ его называли «сорви-голова», въ спорахъ только его и послушать, но водки не пилъ.

Маланья Карповна была существо Богомъ данное, такъ какъ объ ея отцѣ и матери въ слободкѣ никто не зналъ, а попала она въ домъ Шилохвостовыхъ очень случайно. Отецъ Василія Шилохвостова, возвращаясь домой съ дровами, увидалъ плывущую

безъ человѣка лодку. А такъ какъ ему не хотѣлось упустить лодку, то онъ и привязалъ ее къ кормѣ своей на буксиръ. Когда же онъ сталъ ее втаскивать на берегъ, то увидалъ въ ней ребенка, уже полуживого. Тутъ къ нему подошла его мать, и дѣло приняло такой оборотъ, что ребенокъ сталъ воспитываться матерью Шилохвостова.

Такъ и росла Малашка, какъ прозвали дѣвочку слободчане. Съ пяти лѣтъ начали замѣчать въ ней не то дикость, не то пугливость. Извѣстно, что торгаши-рыбаки не могутъ выражаться негромко и вѣжливо, а почти каждое слово произносятъ гдѣ крикомъ, гдѣ руганью. Слободскіе ребята къ этому привыкли; но Малашка отъ каждаго почти крику вздрагивала. Если заставляли ее что-нибудь дѣлать, то она смотрѣла дико, бѣжала, и бѣжала не туда, куда ее посылали. Съ годами это не только не уменьшилось, но увеличилось больше, и съ пятнадцатилѣтняго возраста она слыла во всей слободѣ за полоумную, такъ что всѣ, отъ мала до велика, старались обозвать ее какъ-нибудь, осмѣять ее. Но на всѣ эти насмѣшки она только хохотала и бѣжала прочь съ визгомъ,—что еще болѣе смѣшило молодежь и придавало имъ болѣе смѣлости безнаказанно потѣшаться надъ беззащитною дѣвушкою. А что она была вполнѣ предоставлена самой себѣ, такъ это видно изъ того, что дома ее всѣ считали безсловесною скотиною, били и почти каждый день хотѣли прогнать изъ дому, но не прогоняли потому, что черезъ нее получали болѣе доходу, чѣмъ отъ собственной работы.

Развитіе ея остановилось на томъ, что она умѣла вязать чулки, варежки, стряпать пирожки, пельмени и черный хлѣбъ. Печь бѣлый хлѣбъ она никакъ не могла выучиться. Мало того, она не сумѣла научиться даже куклы шить: иглу совала не такъ, какъ бы слѣдовало.

Въ характерѣ ея на семнадцатилѣтнемъ возрастѣ всѣ замѣчали прилежаніе къ работѣ; и она—стряпала ли, вязала ли чулки—пѣла пѣсни большею частію любовнаго содержанія; но привязанности ни къ кому не выказывала, что еще больше подстрекало мужчинъ къ насмѣшкамъ. Напримѣръ, подскочитъ къ ней парень и начнетъ ее щипать, она хохочетъ и визжитъ, а не ругается и не дерется, какъ это дѣлается другими дѣвицами рабочаго люда. Но горе тому, кто сильно надоѣстъ ей и, такъ сказать, измучитъ ее: такъ укуситъ глубоко, что тотъ съ полгода прохвораетъ. Только на рынкѣ крѣпко доставалось ей отъ шаловливыхъ ребятъ. Подходитъ, напр., кучка изъ пяти человѣкъ, и одинъ отниметъ у нея скалку и побѣжитъ, она за нимъ, а товарищи его возьмутъ и опрокинутъ въ грязь корыто съ рубленою говядиной. За этимъ, разумѣется, хохотъ слѣдуетъ по всей харчевнѣ; ругаютъ Малашку мужчины, ругаютъ Малашку и женщины, которымъ она очень не нравилась зато, что она не ругалась, не пила съ пирожницами водку, не нюхала табаку, какъ это дѣлаютъ пьющія пирожницы, и, значитъ, не сыпала табаку въ мясо, не допускала, чтобы въ ея мясо плевали сосѣдки, не зазывала крикомъ посѣтителей; да у нея и хватило смекалки огородить своими досками себя со всѣхъ сторонъ на два квадратныхъ аршина. Ѣдоки пельменей любили поѣсть именно ея пельменей, потому-что они оказывались хорошаго качества, хотя десятокъ ихъ стоилъ три коп. Одно только замѣчали торговки, что послѣ того какъ побалуютъ съ ней парни или озорники-мужчины, она сядетъ въ уголъ и давай *нюнить*. Бабы сперва захохочутъ, а потомъ которая-нибудь изъ нихъ примется уговаривать ее: что—«здѣсь-де не лазаретъ, чтобы плакать. Плаканствомъ своимъ ты, проклятая, только деньги отъ насъ отбиваешь»... Но нигдѣ не плакала такъ Маланья, какъ дома, и то по ночамъ, и плакала она горько, такъ что разбужала спящихъ. О чемъ она плакала? О томъ ли, что она неизвѣстнаго происхожденія, о томъ ли, что ее ругаютъ и смѣются надъ нею всѣ, о томъ ли, что ей Господь Богъ разуму не далъ?—она никому не говорила. Да если бы она и объяснила это кому-нибудь, такъ ее всякій осмѣялъ бы.

Такъ ее всѣ и называли дурочкой. Такъ она и осталась дурочкой, когда родила.

Надо еще объяснить то, что семнадцати лѣтъ она не была красивой, а дѣвушкой съ смуглымъ лицомъ, не очень длинными волосами пепельнаго цвѣта; глаза у нея были каріе, не выражавшіе ничего особеннаго; росту она была средняго. Къ этому году, послѣ смерти стариковъ, она осталась хозяйкой въ домѣ и уже на рынкѣ не торговала. Василій Терентьичъ, единственный наслѣдникъ въ домѣ, не выгонялъ ея, но, напротивъ, обращался съ ней, какъ съ сестрой, да и она такъ привыкла и привязалась къ нему, что когда его долго нѣтъ, то стоитъ, стоитъ на крылечкѣ, смотритъ на одно мѣсто рѣки и вдругъ заплачетъ... Говорилъ ли Василій Терентьичъ что-нибудь Маланьѣ о любви своей,—неизвѣстно; одно только извѣстно, что Малашка родила сына, котораго Василій Терентьичъ взялъ на руки, поцѣловалъ и ухмыляясь произнесъ:

— Али я подлецъ?.. Человѣкъ какъ есть: парня сотворилъ!

Когда пришли въ харчевню гости, онъ, показывая имъ младенца, спросилъ:

— Въ кого?

— Въ тебя... глаза только чужіе.

— Что глаза?! Вотъ вамъ слово: коли обликъ мой,—никто окромѣ меня на Малашкѣ не женится. Голову тому отверну, кто только прикоснется къ ней—кричалъ отецъ, а на глазахъ его появились слезы.

Черезъ два мѣсяца онъ женился на Маланьѣ и усыновилъ Степана.

Маланья не изъявляла ни радости, ни удовольствія: ей какъ будто было все равно.

Нужно же было случиться такъ, что Василія Терентьича за воровство сослали въ Сибирь на третьемъ году жизни Степана, а воровство было не пустое: утащилъ съ пристани три куска мѣди, каждый вѣсомъ пуда въ полтора, и зашибъ до смерти караульщика. Перемѣны въ характерѣ Маланьи Карповны не было никакой, только она теперь не плакала; надъ ней, какъ надъ женой и хозяйкой, не

смѣялись, но она похудѣла, глаза впали и сдѣлались еще безсмысленнѣе. Къ мужу она ходила въ острогъ, проснживала по часу, но какъ вообще бываетъ въ простомъ народѣ, сидѣла молча, да и мужъ ея молчалъ или заговаривалъ съ посторонними о рыбной ловлѣ, о кражѣ вещей. Мужъ зналъ, какое ему будетъ наказаніе, но говорилъ, что онъ человѣкъ молодой, и ему будетъ стыдно, если онъ не убѣжитъ. Жену онъ за собой не взялъ, да и она не напрашивалась. Маленькій Степанъ уродился въ отца: онъ скоро понималъ вещи, ругался, какъ и большіе, и когда возвращался изъ острога домой съ матерью, то храбро говорилъ, кому ни попало: «Тятька убѣжитъ. Меня сошлютъ—и я убѣгу рыбачить!»

Когда Маланья провожала мужа—она не плакала, зато всю ночь не могла спать, а утромъ, часа въ два (дѣло было весной, во время разлива рѣки), четверо сосѣдей видѣли ее съ Степкой сѣвшими въ лодку. Когда одинъ мужчина спросилъ ее: «куда, Маланья Карповна?» — она отвѣчала: «по рыбу», и отплыла. Сосѣди удивились, пересказали своимъ семейнымъ, тѣ по-своему растолковали: «къ Царю!», и, вѣроятно, вслѣдствіе этого простого заключенія, сперва одна дѣвица, потомъ цѣловальничиха, за ней калачница и, наконецъ, пирожница приходили къ крыльцу дома Шилохвостовыхъ и, увидѣвъ, что дверь не заперта, вошли поочередно сперва въ избу (харчевню), потомъ въ комнату, поглядѣли на стѣны, изукрашенныя стараніемъ Василія Терентьича разными лубочными картинками, на кровать, занавѣшенную ситцевымъ пологомъ, на крашенные заводской работы сундуки, поглядѣлись въ зеркало и ушли. Потомъ вся слобода занялась своими дѣлами, объ Шилохвостовой вспомнили только утромъ на другой день, но поговорили немного.

Такъ прошла недѣля, въ концѣ которой объ ней уже успѣли всѣ позабыть.

Ровно на восьмой день Маланья Шилохвостова, во второмъ часу утра, причалила къ берегу. Лодка ея была нагружена березками; сама она кое-какъ вздернувши лодку на берегъ, ушла домой.

Рыболовы, увидѣвъ въ лодкѣ Шилохвостова березки, расхохотались и пошли въ его домъ.

Маланья спала на кровати, но при шорохѣ скоро проснулась.

— Извини, Маланьюшка! Мы думали, какой грѣхъ случился,—сказалъ одинъ рыболовъ-старикъ.

— А какой грѣхъ-то!—отвѣчала скороговоркой по-пирожнически Маланья.

— Березки-то зачѣмъ у те?

— А Троица...

— Троица когда была?.. А Степанъ-то гдѣ?

— Степанко?.. А почемъ я знаю.. Степанко березки рубилъ...

— Грѣхъ!!

— Да ты гдѣ была-то?

— Гдѣ? Исака въ жертву приносила...—и Маланья захохотала.

Рыбаки вышли, потолковали и отрядили двухъ рыбаковъ плыть внизъ по рѣкѣ: одну по сю, другую по ту сторону.

Черезъ два дня рыбакъ Мокрушкинъ привезъ въ слободу Степана, и вотъ что онъ разсказывалъ слободчанамъ.

«Остановился я у елки и гляжу: кабы это Степка сидитъ у огня. Ладно! Вздернулъ лодку, руку эдакъ—потому солнце въ глазъ (дѣлаетъ лѣвой рукой къ глазамъ)—онъ!.. Степка?—кричу... А онъ, шельмецъ, только языкъ показалъ...—Ты что?—говорю. Онъ глаза пялитъ, ажно ошалѣлъ...—Рыбаки-то дома?—спрашиваю... Онъ что-то мяучитъ—хяя!.. вотъ провалиться... Вотъ я его накормилъ лукомъ да простоквашей и взялъ его съ собой, а самъ снасти поглядѣлъ: рыбы—дрянь!.. Все налимъ поганой, а стерлядь одна... щука сперва большая егозила, да жалость—сорвалась, чтобъ ей триста разъ зубы выпали... Ну, поѣхалъ я, а самъ доглядываю, кабы Степка-паренекъ не юркнулъ. Хочешь—говорю—ись?—Нии...—А самъ глаза жмуритъ. А я сидѣлъ въ гребяхъ, правило у меня что у васъ однако... Ложись, говорю, спи... Ну, и заснулъ... Приплылъ къ балагану, гдѣ Елпинскій Куракинъ, да еще нѣмецъ *Покупаръ* пристаетъ ради шутовства... Тотъ мережи вѣситъ... Ну, онъ и толкуетъ вотъ что: «Ѣду-де я съ мережъ и гляжу—на берегу лодка знакомая, на берегу огонь. Приплылъ; трубку наколотилъ—смотрю: мальченко къ дереву привязанъ и какъ зареветъ!.. Я скорѣ, шаркъ ножомъ—чиррр!.. Мальченко бѣжать... Вдругъ—Маланья...—«Это что же», спрашиваю Маланью. «Исака въ жертву».—Какъ я ее хлесь да еще... взялъ мальченка и къ себѣ... Вотъ тѣ и все»...

Послѣ этого разсказа слободчане рѣшили выгнать изъ слободы Маланью, сломать домъ, а Степана Шилохвостова взять на поруки кому-нибудь.

Степана взялъ на поруки цѣловальникъ Петровъ.

Маланью выгнали въ зашеи, но черезъ мѣсяцъ узнали, что она живетъ въ городѣ съ извозчикомъ Ходулинымъ.

И это опять исторія темная, но объясняется просто.

Ходулинъ былъ не городской извозчикъ, а обозный и притомъ ѣздилъ на чужихъ лошадяхъ; въ городѣ онъ бывалъ рѣдко и обѣдалъ въ харчевняхъ. Онъ еще до замужества Маланьи постоянно закусывалъ у нея и спалъ въ домѣ Шилохвостова. Конечно, Маланьѣ нельзя было, при всей ея глуповатости, не обратить вниманія на Ходулина, но она на всѣ его шутки и щипки постоянно отвѣчала хохотомъ, что вѣроятно еще болѣе подзадоривало подвижную натуру извозчика. Когда онъ узналъ, что Маланья вышла замужъ, ему стало даже завидно, что не онъ женится на ней.

Максимъ Ходулинъ на полторы четверти выше Маланьи. Человѣкъ онъ тѣлосложенія здороваго. Лицо обваренное, корявое, носъ отъ ушиба приплюснутъ. Ему въ годъ ссылки Шилохвостова было 27 лѣтъ. Глаза его выражаютъ что-то отчаянное, горделивое и вмѣстѣ съ тѣмъ плутовское. Но нужно сойтись съ нимъ гдѣ-нибудь: болтовня необыкновенная, сарказмъ, до слезъ доводящій даже человѣка образованнаго.

И вотъ эта увлекательность, сарказмы прель-

щали не одну дѣвушку и женщину; но для Маланьи они были *такъ себѣ*, какъ и рѣчи Василія Терентьича.

Но вотъ когда прогнали ее изъ слободы и когда она, сидя въ харчевнѣ съ пятнадцатью рублями и семьюдесятью семью копейками въ карманѣ, да съ принадлежностями для пирожницы (по крайней мѣрѣ на 3 р.), угощала того и другого уже подгулявшихъ и опохмѣляющихся, вдругъ приходитъ Ходулинъ, важно спрашиваетъ на 30 к. пельменей, садится ближе всѣхъ къ ней, и вдругъ на пятьдесятъ первомъ пельменѣ говоритъ ей смиренно:

— Лошадь у меня теперь своя, свой домишко въ городѣ завелъ; хозяйство свое заведу... Пельмени некому стряпать.

Маланья смотритъ на него дико, потомъ хохочетъ.

— Чему же ты дура, смѣешься?... Хошь быть моей хозяйкой?

Маланья еще пуще засмѣялась, а Ходулинъ ей доказываетъ, что они славно заживутъ; онъ—извозчикъ, она—пирожница, мальченка къ себѣ возьмутъ; товарищи его тоже совѣтуютъ Маланьѣ пріютиться у Ходулина на томъ основаніи, что мужъ ея каторжный.

Такъ и пріютилась Маланья у Ходулина, но цѣловальникъ Петровъ не отдавалъ маленькаго Степана, увѣряя всѣхъ, что онъ съ Васильемъ Терентьичемъ заключилъ на словахъ условіе такого рода, чтобы ему Петрову, до возвращенія Василія Терентьича, пріучать Степана къ дѣлу, воспитывать на свой счетъ. Да и Степанъ не шелъ къ матери.

Прошелъ годъ, прошло два, три и пять лѣтъ. Никакой перемѣны ни въ образѣ жизни слободчанъ, ни въ характерѣ Маланьи не случилось. Попрежнему торговали женщины въ слободѣ, попрежнему рыбачили и воровали слободскіе мужчины. Маланья жила съ Ходулинымъ согласно и, хотя онъ, возвращаясь домой пьяный, и билъ Маланью, но она была терпѣлива попрежнему, торговала въ харчевнѣ и, хотя не пила водки какъ прочіе, но уже умѣла ругаться. На ея поступокъ подруги не обращали вниманія, потому что онѣ сами были такія. Наконецъ, на десятомъ году жизни Степана Ходулинъ прогналъ отъ себя Маланью, и такъ какъ о мужѣ ея не было слуховъ ни въ острогѣ, куда она часто ходила, ни на пристани, гдѣ работали арестанты, то она поселилась у одного отставного рядового, сапожника Никитина, который сталъ требовать къ себѣ Степана.

Степанъ весь, какъ говорится, вылился въ отца, т.-е. былъ силенъ, смѣтливъ и терпѣливъ. Онъ зналъ, что мать его ведетъ себя нехорошо, и поэтому у него явилось отвращеніе къ матери. Къ кабацкой жизни онъ привыкъ, но не любилъ рыбачить. Мало того, что онъ сидѣлъ въ кабакѣ, онъ успѣвалъ сбѣгать на бойню, находившуюся вблизи кабака, и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на рѣзню быковъ и свиней, за что часто получалъ подзатыльники. Въ это время, десяти лѣтъ, онъ уже умѣлъ, кого угодно, обсчитать и разъ даже надулъ самого повѣреннаго.

Никитинъ крѣпко взялся за свое дѣло. А Степанъ былъ ему нуженъ для того, чтобы имѣть помощника. Начальство не вняло воплямъ Петрова и присудило Степану жить съ матерью, но Степанъ сталъ бѣгать отъ нея къ Петрову, и какъ мать ни драла его въ полиціи, а онъ не унимался и, наконецъ, поступилъ на бойню.

Здѣсь не мѣшаетъ объяснить отличительную отъ прочихъ слободскихъ парней черту характера Степана. Бывало сидитъ, сидитъ въ углу лавочки, глаза у него сдѣлаются дикими, вдругъ вскочитъ и возьметъ плетку, висѣвшую около печки и употреблявшуюся Петровымъ въ видѣ науки на спинѣ Степана, и начнетъ этой плеткой стегать полуштофъ. Если ему попадется въ это время кошка, то онъ непремѣнно отдуетъ ее. И зналъ онъ, что за это ему плохо будетъ, но ужъ какъ-то случалось такъ, что онъ выходилъ изъ себя. Если бывали гости въ кабакѣ, то онъ каждому отвѣчалъ на вопросы. возраженія, остроты; и если ему надоѣдали, онъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, начнетъ ругаться, и ругаться такъ зло, что гости глаза на него выпучатъ. Однако съ ребятами онъ игралъ безъ скандаловъ, и если его обсчитывали на бабкахъ, онъ молчалъ и не дрался, какъ это бываетъ у ребятъ. Но случалось иногда, что если во время игры мимо него проходила какая-нибудь дѣвица, онъ кидалъ въ нее налиткой (бабка, налитая оловомъ), глаза сверкали, и ужъ его трудно было уговорить продолжать игру. За это онъ получилъ названіе отъ ребятъ—чудило, отъ дѣвицъ—злой.

Также онъ любилъ смотрѣть, какъ наказываютъ преступниковъ. Но послѣ каждыхъ смотринъ, онъ дѣлался печаленъ и шелъ прямо въ бойню.

Сперва, какъ водится, ему неловко было взяться за ножъ и очищать что-нибудь, но потомъ онъ такъ усовершенствовался и пристрастился къ своему занятію, что не зналъ, какъ ему провести свободное время.

Девятнадцати лѣтъ онъ уже кололъ быковъ. И нужно было удивляться, съ какою ловкостію онъ подплеталъ палкой ноги быка, скручивалъ веревкой голову и потомъ всовывалъ въ шею быка огромный ножъ, поворачивалъ этимъ ножомъ, потомъ всовывалъ ножъ въ горло и опять поворачивалъ. Въ это время на лицѣ его замѣчалось удовольствіе. Но надо замѣтить, онъ не могъ ѣсть мяса своего колотья, а для него покупали изъ рынка, по крайней мѣрѣ говорили такъ.

Двадцати двухъ лѣтъ онъ сдѣлался рослымъ, крѣпкимъ и красивымъ мужчиной, такъ что, когда онъ одѣвался въ черный кафтанъ, то слободскія дѣвицы заглядывались на него; но имъ казалась страшна его фигура, отъ которой ихъ пробирала дрожь.

— Быковъ колетъ,—говорили онѣ.

И если онъ приближался къ нимъ, онѣ бѣжали прочь съ крикомъ:

— Убьетъ! Глядите—съ ножомъ...

Особеннаго расположенія къ женскому полу онъ

не выказывалъ, но у него была все-таки на примѣтѣ одна дѣвица Хорькова, дочь городского булочника; только она на него не обращала вниманія и даже не знала, кто онъ. А онъ увидалъ ее разъ на рынкѣ, куда она приходила съ отцомъ за мясомъ, потомъ случайно въ булочной. Сталъ онъ ходить въ булочную часто, заговаривалъ съ ней, но разъ отецъ подслушалъ его наивныя слова и отправилъ въ полицію. Съ тѣхъ поръ онъ боялся ходить въ булочную, а бродилъ мимо оконъ. Какъ только кончитъ онъ свое дѣло, вымоется и пойдетъ въ городъ къ дому Хорьковыхъ; разъ пройдетъ мимо, два—нѣтъ дѣвки; зло беретъ.

— Возьму же я ее!—думаетъ онъ и сжимаетъ кулаки.

Въ одно изъ такихъ гуляній онъ увидѣлъ свою мать: идетъ она полупьяная, въ худенькомъ зипунишкѣ съ кошелемъ. Остановилась она передъ однимъ домомъ, поклонилась и проговорила:

— Подайте убогой, неимущей, православные...

Ей подала старушка изъ окна ломтикъ ржаного хлѣба.

Степанъ подошелъ къ матери, рванулъ за рукавъ и сказалъ ей: пойдемъ.

Съ этихъ поръ мать поселилась въ его комнатѣ. Онъ жилъ на квартирѣ, потому-что отцовскій домъ давно былъ кѣмъ-то срубленъ и истребленъ въ печахъ.

Попытки завладѣть Хорьковой не удались Степану, вотъ онъ и послалъ мать въ видѣ нищенки развѣдать: не собирается ли она замужъ. Мать сходила, но ничего не добилась: ее даже прогнали изъ избы.

На другой день хватились Степана, а его нѣтъ, а черезъ день слобода была удивлена тѣмъ, что Степана Шилохвостова поймали въ спальнѣ дочери Хорькова съ ножомъ, и онъ уже чуть-чуть не нанесъ удара ей, какъ два работника, слѣдившіе за нимъ со времени его перелѣзанія черезъ заплотъ, схватили его за руку. На вопросъ хозяина: «Что ты хотѣлъ сдѣлать, мошенникъ?» онъ отвѣчалъ: «Хотѣлъ заколоть твою дочь, потому она мнѣ покоя не даетъ».

Степана Шилохвостова посадили въ острогъ.

На другой день съ Шилохвостовымъ сдѣлалась горячка: онъ бредилъ, мололъ вздоръ. Однако ему не повѣрили, а стали снимать допросы. А такъ какъ онъ мололъ вздоръ, то позвали лѣкаря. Лѣкарь призналъ его сумасшедшимъ, и только на другой день въ губернскомъ правленіи врачи нашли, что онъ нездоровъ.

По выздоровленіи стали его спрашивать:

— Зачѣмъ ты хотѣлъ убить дѣвицу Хорькову?

Шилохвостовъ молчитъ.

— Слышишь?

— Развѣ я хотѣлъ?

— Ахъ ты, мерзавецъ! Еще отпираться! Вѣдь ты самъ сознался до лазарета.

— Быковъ я точно билъ, а людей нѣтъ, вотъ провалиться на семъ мѣстѣ.

Бились съ Шилохвостовымъ два дня. На третій—онъ спросилъ.

— Такъ я точно не убилъ?

— Сознаешься—хотѣлъ?

— Какъ не хотѣть, коли я убилъ, потому я ее, ухъ! какъ любилъ.

Стали судить Шилохвостова, и этотъ судъ продолжался полгода. Въ это время Шилохвостовъ велъ себя смирно, изрѣдка игралъ въ карты, ни съ кѣмъ не ссорился, и если товарищи говорили ему: «Эхъ, голова, еще быковъ кололъ, а дѣвку не могъ убить», онъ вскакивалъ, вытягивался весь и ревѣлъ: «али не убилъ?», такъ что всѣ оставались съ разинутыми ртами.

— Вотъ то-то, что не убилъ...

Шилохвостовъ начиналъ искать свой ножъ и метался по камерѣ, кидаясь то на того, то на другого. Удары его были такъ тяжелы, что арестанты перестали дразнить его, а только глазѣли, говоря:

— Эхъ ты, сердечный человѣкъ! Было бы за что въ каторгу итти... Эхъ!

Уголовная палата усомнилась въ здравомъ разсудкѣ Шилохвостова. Потребовали его на освидѣтельствованіе.

Лицо его похудѣло, глаза сдѣлались дикими.

— Такого-то числа ты былъ въ домѣ Хорькова?

— Точно такъ.

— Зачѣмъ?

— Хотѣлъ убить дѣвку—и убилъ, потому я ее любилъ оченно, а она, стерва, нѣтъ...

— Съ какимъ намѣреніемъ?

— Понравилась, потому чувствіе имѣлъ, потому кто Богу не грѣшенъ...

Члены захохотали.

— Для того только, что понравилась?

— Убилъ именно изъ-за того... потому единственно, зачѣмъ она презирала меня...

Опять хохотъ.

— Господа, онъ не въ здравомъ разсудкѣ,—замѣтилъ докторъ.

— Эдакая-то дубина? Что вы, г. докторъ! всѣ эти мерзавцы довольно хладнокровны.

— Однако позвольте мнѣ, какъ врачу, спросить его... Ты чѣмъ занимался?

— Коровъ-то билъ—быковъ кололъ.

— Не надоѣло?

— Хоть сейчасъ, такъ вотъ какъ шарахну! (и Шилохвостовъ сдѣлалъ поворотъ такъ, что солдаты, до сихъ поръ улыбавшіеся, теперь приняли угрожающую позицію, а одинъ изъ членовъ вздрогнулъ).

— Ну, развѣ онъ не въ здравомъ умѣ?—замѣтилъ членъ.

— Ты говоришь: убилъ, а тебя схватили.

— Это точно схватили... Вотъ что обидно!

— Что?

— Зачѣмъ схватили, когда я съ быками управлялся? Небось, самъ бы пришелъ, сознался.

— Надо позвать дѣвицу Хорькову, потому-что преступникъ увѣряетъ, что онъ ее убилъ,—предложилъ докторъ.

Но на это не согласился другой докторъ.

Присутствіе нашло Шилохвостова въ здравомъ умѣ. Палата рѣшила наказать плетьми и сослать въ Сибирь.

Вдругъ умеръ палачъ, и это сильно обезпокоило начальство.

Извѣстно, что палачъ играетъ въ глазахъ обвиненныхъ важную роль. Теперь только о томъ и было рѣчи: кто будетъ палачъ? Было даже нѣсколько человѣкъ, которые хвастались тѣмъ, что они выпросятся въ палачи. Но вдругъ Шилохвостовъ и говоритъ арестантамъ:

— А что, ребята, меня приговорили къ плетямъ и говорятъ, что я дѣвку не убилъ, такъ я же говорю: буду я палачъ единственно для того, что дѣвку хочется застегать.

— А ежели придется мать свою наказывать?

— Не придется: она сумасшедшая, а сумасшедшихъ не дерутъ.

Послѣ этого разговора скоро Шилохвостова сдѣлали палачемъ, а двое арестантовъ сошли съ ума и попали въ домъ умалишенныхъ.

Въ первое время Шилохвостову неловко было въ родномъ городѣ исполнять должность палача, и онъ частенько получалъ наказанія за неправильное выполненіе своей обязанности, но потомъ такъ привыкъ, что даже гордился. Жилъ онъ въ острогѣ, въ особенной комнатѣ. Днемъ ему была дана полная свобода гулять по острогу, въ городъ онъ выходилъ съ полицейскимъ солдатомъ, а на ночь его запирали. Съ первой поры арестанты боялись его, но такъ какъ онъ былъ со всѣми вѣжливъ, то всѣ скоро привыкли къ нему: онъ любезно разговаривалъ съ ними, рѣшалъ ихъ споры, унималъ ссоры, и всѣ любили его. Случалось, если смотритель не могъ справиться съ арестантами, то приглашалъ Шилохвостова, и тотъ унималъ арестантовъ двумя-тремя словами, а потомъ смотритель говорилъ нотацію, какъ нужно обращаться съ арестантами. Но смотрители, вслѣдствіе ли нетрезвой ихъ жизни, или вслѣдствіе мотовства казеннаго имущества, мѣнялись часто, и такъ какъ они были вообще люди грубые, считали арестантовъ за такихъ людей, съ которыми и говорить не слѣдуетъ, не только что уважить какую-нибудь ихъ просьбу, то арестанты преимущественно стали относиться съ просьбами къ Шилохвостову: въ лазаретъ ли кому хочется, водки ли кому нужно, или на рынокъ сходить—Шилохвостовъ всѣ эти дѣла хорошо обдѣлывалъ и даже частенько давалъ денегъ арестантамъ. Дошло наконецъ до того, что ему нельзя было показаться во дворѣ во время прогулокъ арестантовъ: покажется,—всѣ обступятъ его, засыплютъ просьбами. Часто онъ жаловался стряпчимъ на дурную пищу, и это очень не нравилось смотрителямъ, которые почти постоянно жаловались на него городничему, но жалобы ихъ почти никогда не уважались, потому что во время бытности Шилохвостова въ острогѣ не было ни одного бунта.

Однако, какъ арестанты ни раболѣпствовали передъ Шилохвостовымъ, считая его *царькомъ* острога, все-же они и побаивались его, потому что, какъ ни была мала вина каждаго, каждый боялся того, что онъ будетъ наказанъ, да еще публично палачемъ. Вотъ поэтому-то всѣ и льнули къ нему и изрѣдка просили «не стегать шибко». Шилохвостовъ только посмѣивался. Но нужно было видѣть арестантовъ наканунѣ наказанія; они со слезами вымаливали у Шилохвостова пощады, а онъ сперва трунилъ, потомъ говорилъ: «помажу... Дуракъ, братъ, ты: али я не человѣкъ! Вѣдь тамъ-то еще, чать, много придется терпѣть». Такъ онъ говорилъ бѣднякамъ, и слово свое исполнялъ, дѣлая видъ, что наказываетъ изо всей силы, и даже при крикахъ городничаго: «шибче! самого задеру!», привскакивалъ, но плеть ложилась легко, а не ударяла. Подобныя испытанія онъ часто даже дѣлалъ надъ арестантами въ своей комнатѣ. Были въ острогѣ и богатые арестанты, и отъ нихъ онъ наживался много, такъ что отъ этихъ доходовъ имѣлъ въ городѣ свой домъ, въ которомъ жила его мать уже сумасшедшая. Онъ былъ до того честный человѣкъ, что всѣ деньги, бросаемыя на эшафотъ зрителями, собиралъ въ шапку несчастнаго и отдавалъ ему.

Прослужилъ онъ палачемъ десять лѣтъ и совсѣмъ измѣнился противъ прежняго: лицо стало блѣдное, несмотря на то, что онъ пьянствовалъ съ солдатами и арестантами постоянно; самъ онъ потолстѣлъ, волоса на головѣ вылѣзли, только борода придавала его лицу видъ степенный; въ выраженіи глазъ было что-то задумчивое, и хотя онъ былъ человѣкъ веселый, но его красная рубаха и плисовыя шаровары пугали всѣхъ. Онъ, т.-е. палачъ, былъ угроза для всѣхъ нечиновныхъ людей половины губерніи. Въ самомъ городѣ Плошкѣ еще его не такъ боялись, потому-что онъ часто рыбачилъ неводомъ (эта свобода ему была дана начальствомъ во вниманіе примѣрнаго поведенія и исправной службы), но зато въ уѣздахъ, куда его посылали для практики, онъ наводилъ ужасъ на крестьянъ и мѣщанъ. О женщинахъ и говорить нечего: тѣ его считали богоотступникомъ. Отъ этого съ нимъ бывали случаи такого рода.

Разъ онъ пріѣхалъ ночью въ одно село. Ѣхалъ онъ на земскихъ въ сопровожденіи казака. Земскихъ не оказалось, да и Шилохвостову захотѣлось отдохнуть.

— Уложи-ка ты, братъ, меня спать,—говоритъ Шилохвостовъ старостѣ.

Староста молчитъ.

— Аль боишься?

— Погоди, я бабу спрошу.

— Дуракъ, коли бабьяго совѣту спрашиваешь. Припомню я тебѣ это.

Староста затрясся и все-таки пошелъ къ женѣ.

— Офимья... палачъ...

— Что ты! Неужели у насъ?—всплеснула руками жена и вскрикнула.

— Я, баетъ, стегать тебя...

— Господи!

— Да дай слово сказать: спать просится.

Долго вопила жена старосты, ревѣли дѣти: наконецъ, староста пошелъ въ село искать для палача квартиры, но въ селѣ никто не хотѣлъ принять богоотступника.

— Лучше подъ плеть лечь, чѣмъ его въ домъ пущать.

Когда староста воротился домой, Шилохвостовъ уже спалъ на лавкѣ у стола, на которомъ стоялъ пустой полуштофъ и лежала недоѣденная краюха хлѣба.

По отъѣздѣ Шилохвостова староста *поднялъ образа*, т.-е. освятилъ свой домъ посредствомъ священника.

Въ другомъ мѣстѣ, въ какой-то деревнѣ, Шилохвостову захотѣлось пообѣдать. Остановился онъ передъ однимъ домомъ и строго наказалъ ямщику не говорить никому, кто онъ. Въ домѣ были только старуха-бабка, женщина-мать, дочь-невѣста и еще трое ребятъ. Всѣ они съ удивленіемъ поглядывали на вошедшаго Шилохвостова, одѣтаго въ черный кафтанъ, красную рубаху и плисовыя шаровары.

— Здорово, тетка! нѣтъ ли чего пообѣдать?

— Нѣту, родимый... Мѣста-то здѣсь, самъ знаешь, какія...

— Да ты не разговаривай: у те что, хлѣбъ есть?

— Какъ не быть.

— Ну, вотъ и ладно. А говядину ты ѣшь?

— Каку говядину! Разѣ въ свѣтлый Христовъ праздникъ... Горошница есть.

— Ну, вотъ и ладно. Давай—заплачу.

Усѣлся онъ за столъ, хозяйка-мать прислуживала, дочь-невѣста пряла куделю и взглядывала изрѣдка на него и краснѣла; ребята теребили его за кафтанъ.

— А ты, поштенный, изъ какихъ?

— Торговый человѣкъ, тетка: на площади знатно торгую краснымъ товаромъ и мужскимъ, и женскимъ.

— Это хорошо.

— А вотъ невѣста-то, поди, замужъ скоро выдетъ?

— Какъ не то: не все же въ дѣвкахъ сидѣть.

Между разговорами Шилохвостовъ выпивалъ водку и по мѣрѣ выпивки становился болѣе и болѣе разговорчивъ, шутилъ, острилъ, такъ что всѣ бывшіе въ избѣ до слезъ хохотали.

Пообѣдавши онъ поцѣловалъ всѣхъ, поцѣловалъ даже пришедшаго на ту пору жениха хозяйской дочери, далъ имъ рублевую бумажку; хозяйка-было не брала, но принуждена была взять. Шилохвостова вышли всѣ провожать, а около дома, удостоившагося принять купца, столпился народъ.

— Прощайте, православные. Теперь догадались ли, кто я?—спросилъ вдругъ Шилохвостовъ.

Жители деревни рты разинули.

— Видѣли: я крещеной?

— Крещеной.

— Такъ спасибо за угощеніе. Самого палача Шилохвостова угостили.

Жители ахнули, а Шилохвостовъ уѣхалъ, и долго хохоталъ надъ своей штукой.

Но эта штука надѣлала большой переполохъ въ деревнѣ. Суевѣрные крестьяне, имѣющіе много предразсудковъ, считающіе палача бичомъ Божьимъ, напали на принявшихъ его къ себѣ. Тѣ божились, что они не виноваты, что вѣрно ужъ такъ Господь Богъ *пристроилъ*, послалъ имъ такое наказаніе. Но, несмотря ни на какія увѣренія, крестьяне положительно разссорились съ добрыми людьми и побожились не имѣть съ ними никакихъ дѣлъ. Мало этого, разсказали объ этомъ случаѣ въ сосѣднихъ деревняхъ, объявили въ селѣ начальству, что они Никиту Петрована не хотятъ имѣть въ своей деревнѣ; но начальство не вняло этой просьбѣ. Женихъ отказался отъ невѣсты на томъ основаніи, что она изъ поганаго дома, а отъ парня, цѣловавшагося съ палачемъ, бѣжала каждая дѣвка, а общество наперло-таки—сдало его въ солдаты... А семейство Петрована въ конецъ разорилось.

Въ характерѣ Шилохвостова долго ничего не замѣчалось выдающагося. Каждый день то онъ разговаривалъ съ арестантами, то ходилъ по городу, навѣщалъ мать, разъѣзжалъ по другимъ городамъ, пилъ много водки, много спалъ,—однимъ словомъ, жизнь была хорошая; но вдругъ въ немъ начала проявляться меланхолія: сталъ онъ показываться на арестантскій дворъ рѣже и рѣже, а если и выйдетъ, то сядетъ на землю въ уголокъ и молчитъ; всѣ деньги, полученныя имъ отъ состоятельныхъ родственниковъ арестантовъ, онъ раздавалъ зря арестантамъ. Станутъ докучать ему разспросами и разговорами арестанты, онъ уйдетъ въ свою комнату, ляжетъ и смотритъ на одно мѣсто или строитъ изъ картъ домикъ. Даже водку сталъ пить рѣже. При исполненіи своей обязанности онъ сдѣлался нерѣшителенъ и почти послѣ каждаго исполненія получалъ наказанія.

— Жениться надо тебѣ!—говорилъ ему другъ-пріятель, казакъ.

— Кто за меня пойдетъ, другъ любезный? А ты самъ знаешь, гульную дѣвку мнѣ не надо,—такихъ у меня въ острогѣ много. А скучно мнѣ такъ, что я, кажись бы, готовъ въ воду.

— Полно: ты вѣдь не мало доходовъ-то получаешь.

— Плевать мнѣ на нихъ! Я бы дорого далъ тому, кто замѣнилъ бы меня. На волѣ я давно не живалъ... Э! пропадай моя голова,—заканчивалъ Шилохвостовъ; и послѣ такого заключенія отъ него уже трудно было добиться слова.

Мать его умерла; послѣ ея смерти онъ сдѣлался еще задумчивѣе; его пріятнѣйшею прогулкой было кладбище.

Живя съ арестантами, имѣя разсужденіе со всякими изъ нихъ, онъ зналъ характеръ почти каждаго, такъ же онъ зналъ и женскіе характеры. Конечно, къ женщинамъ ему доступъ былъ трудный, но онъ все-таки могъ разговаривать съ ними и даже имѣлъ интимныя отношенія съ одной дѣвицей, Машей, 18 лѣтъ, посаженной за кражу серебряныхъ ложекъ на сумму свыше 40 рублей. Эта дѣвица, впрочемъ, не сознавалась. Зналъ ли про его связь смотритель и замѣнявшій эту должность квартальный надзиратель, только разъ полицеймейстеръ и говоритъ ему:

— А что, Шилохвостовъ, не думаешь ли ты жениться? У меня для тебя благородная есть.

— Покорно благодарю.

— То-то. Ты нынче что-то устарѣлъ въ своемъ ремеслѣ. Смотри, отставимъ.

— А что, в. в-діе, ежели бы я точно задумалъ жениться,—можно?

— Попытайся.

— Да у меня въ острогѣ есть такая, Марья Огорошина.

— А, это—что у купца деньги да серебро украла? Знаю, знаю.

— Точно такъ. Вотъ я и хочу уплатить деньги купцу и жениться на ней. А тамъ дѣло пусть по-своему.

— Ну ладно, послѣ поговоримъ.

Черезъ мѣсяцъ полицеймейстеръ объявилъ Шилохвостову, что Марью Огорошину скоро выпустятъ, потому-что «купецъ, по случаю своихъ именинъ и твоего согласія жениться на ней, прощаетъ ее. Жди разрѣшенія».

Шилохвостовъ загулялъ, загулялъ и весь острогъ. Скоро Шилохвостовъ женился на Марьѣ, жилъ съ нею дружно два года въ острогѣ и прижилъ даже съ нею сына.

Въ первый годъ женитьбы онъ былъ очень веселъ, и начальство не могло даже нахвалиться на него, но на другой годъ къ нему опять вернулась меланхолія, а жена его вмѣсто того, чтобы разсѣивать его думы, то-и-дѣло корила его чѣмъ-нибудь въ родѣ того, что онъ сидитъ сложа руки, пьетъ много водки, не качаетъ ребенка. На третій годъ въ немъ начала появляться мономанія: пробудится онъ ночью и ворчитъ:

— Зовутъ!

— Куда?—спрашиваетъ съ испугомъ жена.

— Зовутъ. Надо итти... Ахъ, работы-то ужасъ!.. Поскорѣе надо.—И онъ начинаетъ одѣваться.

— Да куда ты? Вѣдь сегодня некого наказывать.

— Въ слободѣ теперь пятнадцать быковъ—изволь ихъ всѣхъ заколоть...

И онъ шелъ къ дверямъ. Двери были отперты во вниманіе къ его долголѣтней службѣ.

— Куда, Шилохвостовъ?—спрашиваетъ его часовой.

— Постой! А гдѣ же у меня фартукъ?.. Дуракъ! И ножа не взялъ...

Наконецъ, онъ сталъ надоѣдать часовымъ, женѣ, смотрителю. Одинъ разъ солдата избилъ зато, что тотъ не пустилъ его на бойню.

Эта исторія больше продолжалась по ночамъ и по утрамъ мѣсяца три; днями онъ былъ въ здравомъ разсудкѣ, только изрѣдка задумывался.

Разъ ночью онъ выскочилъ изъ своей комнаты съ ножемъ и въ фартукѣ, точь-въ-точь какъ работникъ на бойнѣ, и кричитъ:

— Гришка, что жъ ты? Не справиться одному!— И потомъ убѣжалъ въ комнату.

Немного погодя, въ комнату вошелъ смотритель съ солдатами. Въ комнаткѣ теплилась лампадка. Шилохвостовъ крошитъ ножемъ кровать. Жены его и сына въ это время не было въ острогѣ. Увидѣвъ вошедшихъ, онъ бросилъ ножъ и, схвативъ палку, ударилъ по плечу одного солдата и сказалъ:

— Ну-ну, христовая! ну-у!!

— Шилохвостовъ!—крикнулъ смотритель.

Глаза Шилохвостова горѣли, грудь поднималась широко; онъ широко размахивалъ палкой; наконецъ, смотритель приказалъ связать его и заперъ въ секретную.

Черезъ день привели Шилохвостова на освидѣтельствованіе.

Глаза его впали, щеки тоже, но были блѣднѣе прежняго.

— Освободите меня,—не могу,—сказалъ Шилохвостовъ.

— Чего же тебѣ нужно?

— Не могу безъ быковъ жить: страсть моя. Коли бабы не могъ застегать,—быковъ буду бить.

— А знаешь ли ты то, что ты третьяго дня совершилъ преступленіе?

— Ничего не знаю.

— Солдата прибилъ въ присутствіи смотрителя.

— Виноватъ, только это быкъ былъ, в—скородіе.

Доктора рѣшили, что Шилохвостовъ сумасшедшій, но губернское правленіе долго не хотѣло признать его такимъ и только во вниманіе къ его усердной службѣ и примѣрному поведенію рѣшило не ссылать въ Сибирь, а водворить въ сумасшедшій домъ.

Черезъ недѣлю Шилохвостовъ перерѣзалъ себѣ горло и былъ похороненъ, какъ собака. Провожала его только жена, которая въ настоящее время торгуетъ водкой.

Бѣлуга.

Городъ Орѣховъ—извѣстный городъ. Извѣстенъ онъ сталъ очень недавно, по крайней мѣрѣ, губерніямъ двадцати по своей рѣкѣ и губерніямъ десяти—по *бѣлугѣ*. Онъ имѣетъ свои лѣтописи, о немъ есть огромныя описанія, которыя стараются доказать всѣмъ, что онъ чудный уголокъ въ мірѣ и съ каждымъ днемъ, такъ сказать, цивилизуется: напримѣръ, теперь уже чиновники не приглашаютъ къ себѣ шарманщиковъ и не даютъ имъ по десяти копеекъ за пѣсню, а идутъ на всеобщее гулянье, ходятъ въ деревянный театръ лѣтомъ, а зимой читаютъ «книжечки» ради скуки. Назадъ тому два-три года, казаки нагайками гоняли купающихся противъ гулянья у купальни, теперь бѣдные люди купаются въ сокровенныхъ мѣстахъ и даже съ лодкой пристать къ купальнѣ считаютъ за невѣжливость. Прежде богатые люди, желая снять съ себя портретъ, приглашали живописца, который иконы рисовалъ, и за это платили ему дорого, несмотря на то, что живописецъ маялъ заказчика по мѣсяцу, и типъ выходилъ все-таки еврейскій или татарскій; теперь же всѣ ходятъ сниматься къ извѣстнымъ въ городѣ *итальянскимъ* фотографамъ. Городъ Орѣховъ, даже и съ юмористической стороны, продолжаетъ описываться; но эти описанія еще не полны, и чѣмъ дальше онъ будетъ цивилизоваться, тѣмъ больше будетъ давать матеріала для описанія...

Городъ, какъ городъ губернскій, наводящій страхъ на *провинцію* (т.-е. все, что внѣ его до другихъ губерній); онъ ничѣмъ не знаменитъ, ничего не

произведъ ни худого, ни хорошаго. Нельзя сказать, чтобы люди въ немъ благодушествовали, а живутъ, какъ говорится, ни шатко, ни валко, ни на-сторону. Правда, иногда залетаютъ сюда кое-какіе вопросы, но они скоро опять улетучиваются; но вотъ зато, если что-нибудь внутри его совершится эдакое, выдающееся изъ ряда обыкновеннаго, то это волнуетъ всѣхъ, мозги всѣхъ людей точно выскочить хотятъ изъ головъ, и такое событіе не только не забывается, но поступаетъ въ календарь житейскій, орѣховскій. Напримѣръ, всякій старожилъ знаетъ, когда какая-нибудь выдающаяся личность родилась, и поэтому говоритъ: онъ родился въ тотъ годъ, на третій день послѣ убійства Ильи Пракуряхова и т. п. А такихъ важныхъ событій въ немъ немного, и изъ нихъ я желаю познакомить читателя съ бѣлугой. Но сперва разскажу, какую связь имѣетъ бѣлуга съ мирными и добродушными обитателями города Орѣхова.

У орѣховцевъ и теперь еще существуютъ двѣ страсти: у мужчинъ водка, у женщинъ мелкіе кедровые орѣхи, а такъ какъ мужчины и женщины другъ съ другомъ связаны узами брака или любовными дѣлами, то трезвые мужчины забавляются, между прочимъ, орѣшками, а женщины, глядя на пьяныхъ мужей, напиваются и сами Проще: орѣхи и водка главныя развлеченія; ни гости, ни гулянья, ни чаепитіе за рѣкой безъ этихъ двухъ угощеній не обходятся. Прежде же, именно въ то давнее время, къ которому относится мой разсказъ, была еще и третья страсть—рыболовство, которымъ преимущественно занималась овражковская слобода, а въ свободное время и всѣ горожане.

Вотъ въ это-то время, вдругъ, на рынкѣ, затоворили, что въ пятнадцати верстахъ въ рѣкѣ, выше города, появился чортъ Отъ торговокъ это распространилось по всему городу. Всѣ удивлялись: какой это такой чортъ? что онъ дѣлаетъ въ водѣ? а тѣ, которые этому не вѣрили, стали распространять слухи, что въ рѣкѣ нимфы водятся.

— Мы это сами видѣли, когда при восходѣ солнца купались.

Въ высшихъ слояхъ на это вниманія не обратили, а остальной классъ звонилъ сильно объ вѣдьмахъ и чортѣ, доказывая ихъ присутствіе тѣмъ, что одна женщина въ мелкомъ мѣстѣ купалась да утонула; народу, особенно ребятъ, стало тонуть больше, такъ-что начальство запретило всѣмъ купаться въ рѣкѣ, а по случаю жары и бани запечатало. Это еще болѣе увѣряло орѣховцевъ, что въ рѣкѣ черти завелись

На рынкѣ торговки звонятъ одно: невода рветъ, коровы и овцы исчезаютъ съ береговъ. Рыбаки удивляются, что за чудо,—какъ ни метнемъ неводъ, половины какъ не бывало!

Стали крестьяне жаловаться начальству: чортъ изъ воды къ берегу подползаетъ и телятъ проглатываетъ Начальство на эту жалобу не обратило вниманія, а вотъ съ другой не знало, что дѣлать: съ берега одной деревни, среди бѣлаго дня, ребенокъ изчезъ. Стали говорить, что его проглотило какое-то чудовище.

— Нарядить слѣдствіе,—горячились законники.

— Да кого искать-то? Рыбаки отказываются рыбу ловить... Безъ рыбы, пожалуй, насидимся!

Думало, думало объ этомъ предметѣ начальство и окончательно спуталось: одинъ посовѣтовалъ доложить губернатору,—его всѣ называли аспидомъ зато, что сказать губернатору значитъ выдать себя въ непониманіи законовъ и вообще своихъ обязанностей; другой посовѣтовалъ попросить владыку освятить рѣку,—этого обругали на томъ основаніи, что безъ согласія губернатора владыка не согласится; третій почему-то говорилъ: надо посовѣтоваться съ директоромъ гимназіи. На такого всѣ поднялись: какъ? вы директора гимназіи ставите старше насъ? Такъ и рѣшили: предписать земскому суду произвести слѣдствіе. А земскому суду на-руку: цѣлую недѣлю слѣдователи бражничали на берегу рѣки и наловили много рыбы. Слѣдствіе составили кое-какъ, заключивъ, что, по собственному опыту они, слѣдователи, по *ночамъ видѣливѣрѣкѣ что-то брыкающееся, похожее на ехидну, и что это чудовище частовременно приближается къ берегу и, разѣвая пасть, жалобно визжитъ*. И потому они положили учредить постоянную вооруженную стражу.

Мелкое начальство, отъ этого описанія, пришло въ великое изумленіе, и квартальный надзиратель, бывши съ рапортомъ у городничаго, смиренно доложилъ:

— Въ рѣкѣ чортъ-съ...

Городничій выпучилъ на него глаза.

— Вѣрно и честно всегда служилъ, и никогда ничего не бывало... Хотя и прогрессъ, а...

— Вы, кажется, съ ума сошли послѣ вчерашняго катанья на пароходѣ?

— Уже объ этомъ предметѣ слѣдствіе произведено...

— Какъ!? О чортѣ слѣдствіе!.. Ды вы помѣшались...

Началась бѣготня... Все мелкое начальство проклинало свою жизнь.

Однако вся эта бѣготня кончилась тѣмъ, что городничій велѣлъ произвести слѣдствіе своимъ чиновникамъ, для раскрытія истины. Но частный приставъ, недолюбливавшій за что-то купца Подосенова, возразилъ:

— Позвольте, в. в-діе, это, вѣроятно, продѣлка купца Подосенова: онъ нынѣ и рыбу дороже продаетъ. Надо спросить его секретно.

— Позовите его...

Купецъ пришелъ ни живъ ни мертвъ. Съ часъ его в—діе распекалъ купца, съ четверть часа купецъ доказывалъ, что все это ни больше ни меньше, какъ рыба.

— Рыбы большой здѣсь быть не можетъ. Понимаешь?

— А я думаю, что и чертей быть не можетъ.

— Я не про это говорю...

Однако эти разговоры кончились тѣмъ, что купцу приказали было торговать по дешевой цѣнѣ.

Крупная рыба не ловилась, потому-что рыбаки отказались закидывать невода вглубь, вотъ купецъ и перепродалъ свои садки другому, но все-

таки имѣлъ два цѣлыхъ большихъ невода, нѣсколько лодокъ и восемь человѣкъ рабочихъ. Условія съ новымъ хозяиномъ садковъ заключено не было, а деньги Подосеновъ обѣщался отдать черезъ недѣлю. Рыбы въ садкахъ было немного.

Работники Подосенова были закаленные рыболовы, съ дѣтства занимавшіеся рыболовствомъ. При однообразіи занятій, при уединенной жизни, всегда зимой и лѣтомъ на рѣкѣ, у нихъ еще болѣе сложились разные предразсудки и разныя фантазіи. Такъ и теперь, замѣчая, что въ рѣкѣ появилась какая-то штука страшнаго вида, которая рветъ невода, они, не видавшіе отъ роду огромныхъ рыбъ, заключили, что эта штука не добрая, и коли она не добрая, то значитъ чортъ,—и потеряли не только охоту къ своему занятію, но даже боялись рыбачить, плыть ночью черезъ рѣку.

Такъ, во вторникъ, часу въ одиннадцатомъ, рыбаки сидѣли вокругъ костра.

— Вотъ тоже у насъ на Черномъ озерѣ повадься эта дьявольщина... Что жъ бы ты думалъ?.. Какъ ночь, такъ и шалитъ, бунтуетъ, чтобъ ее...—Говорившій эти слова старался придать себѣ веселость.

— Какъ эта... Вотъ оно дѣло-то наяву! Баютъ, сказки врутъ,—не врутъ

— А ежели рыба?

— Какая тѣ рыба!.. Станетъ тѣ такая рыба здѣсь жить?.. Что глыбь-то: сколько ее? Все, почитай, перекаты.

— Какъ кидать-то?

— Надо... Хозяинъ взыщетъ: забору много... Подмазался.

— А чтобъ ему!.. А я какъ вы, хоть убейте, не пойду.

— Выдумывай!

Долго рядили рыбаки; половина не соглашалась закидывать неводъ, но другая половина была посмѣлѣе, бойчѣе и разговорила трусовъ.

Помолились они Богу, пожали другъ другу руки въ знакъ того, что никто не измѣнитъ товарищу, а будетъ дѣйствовать сообща, четверо отъѣхали съ неводомъ, четверо въ другой лодкѣ поплыли впередъ, влѣво, къ противоположному берегу. Рѣка здѣсь имѣетъ ширины саженей восемьдесять и довольно быстра; работа не легкая, требуетъ сноровки; пока они выкидывали неводъ, пріѣхали къ своему костру и потянули съ двухъ концовъ сорокавосьми-саженный неводъ, начало свѣтать.

— Тяни!—кричали налѣво.

— Задѣло! Черти! тянете!—кричали направо.

— Ухнемъ!! Ну, коли прорветъ?

— Тянется. Тащите!.. Васька, забѣги слѣва-то!

— Глыбь—далеко!! задѣло!

— Не кричите, черти!

Смолкли рыбаки, только вода плещется отъ невода и щукъ; подтащили неводъ поближе, смотрятъ—колода не колода, а что-то чешуистое.

— Что же это, братцы?

— Заглянемъ.

— Да ты не кричи!!

Вмигъ одинъ, какъ мышь, полѣзъ въ воду и, воротясь, сказалъ:

— Глыбь аршинъ. Закидывай веревку за деревья-то, Иванъ... Идите туда съ веревкой! Бастрыги берите!..

Всѣ заметались.

— Чортъ! Что всталъ? Шевелись, прокляненый!!

— Молчи! справляй; спитъ!

Въ двѣ минуты толстая веревка была закинута за толстый колъ, за который зацѣпляли барки, двое тащили петлю въ воду, трое шли съ бастрыгами и начали лупить, почему—сначала не могли различить, потомъ увидали голову, и двое рыбаковъ накинули веревку,—рыба рванулась, понесла за собой неводъ, но была привязана: веревка попала плотно за жабры.

— Рыба!

— Кто не то. Какая гляди: сажени полторы... Какая же?

— Глядите, какъ воюетъ, чтобы не порвала.

— Э!!

Рыбаки отъ радости и удивленія и неводъ забыли, наконецъ, собрали,—въ нѣсколькихъ мѣстахъ изорванъ.

— Прибыло работы, съ проклятой.

— А какъ мы съ ней? Али въ станъ объявлять?

— Задача.

— Надо въ городъ ѣхать.

Поплыли двое въ городъ, сказали новому хозяину садковъ, что они поймали большую бѣлую рыбу, которую желаютъ продать ему за двѣсти рублей на серебро.

Купецъ поплылъ къ рыбѣ, сказалъ, что это бѣлуга и купилъ у рыбаковъ за сто рублей. Узналъ объ этомъ Подосеновъ, не сталъ пускать рыбу, купецъ въ полицію—дозволили. Городничій съ однимъ частнымъ, двумя квартальными и нѣсколькими казаками, прибылъ на садки; за нимъ валилъ народъ, прослышавшій, что въ рѣкѣ поймали *рыбу-китъ*, и какъ городничій ни кричалъ на народъ отойти прочь, его даже никто не хотѣлъ и слушать, такъ-что пришлось прибѣгнуть сначала къ нагайкамъ, а потомъ къ разведенію мостковъ. Подняли рыбу,—большая, голова *какъ у волка*, какъ выразился городничій. Начались разспросы: гдѣ и какъ поймали рыбу, какъ зовется эта рыба,—(назвали бѣлугой, потому-что она дѣйствительно принадлежала къ бѣлужьему классу).

— Надо ее опечатать,—сказалъ строго городничій.

— Какъ бы она не ушла? На цѣпь ее надо, сказалъ частный.

Хозяинъ этой рыбы ухмылялся и возразилъ:

— Позвольте, ваше в-іе, какъ вы рыбу въ водѣ печатать будете?

— Вытащить!

— Энтого невозможно: она не человѣкъ, какъ почнетъ поливать васъ водой...

Бѣлуга, до сихъ поръ чуть-чуть шевелившая жабрами и хвостомъ, вдругъ хлеснула по водѣ хвостомъ и залила начальство.

*

— Проклятая!.. И смотритъ какъ по-дьявольски... Вѣдь она ѣла людей?—спросилъ городничій купца.

— Врядъ ли... А что говорили про нее, такъ энто однѣ сказки...

— Ладно! Смотри, ты ее долженъ хранить въ цѣлости и никого не пускать сюда.

Полицейскіе ушли; а для караула рыбы приставленъ былъ со стороны городничаго одинъ казакъ, а со стороны купца—работникъ.

Тѣмъ не менѣе купецъ разрѣшилъ впускъ на садки для смотрѣнія рыбы въ первый день за пять коп. съ человѣка, во второй—за десять, въ третій—за пятнадцать...

— Чортъ ихъ дери! коли не велятъ продавать, съ этого конца начну. И смотрѣть рыбу-чудо шелъ всякій, какъ рѣдкость; многіе даже разъ по пяти ходили смотрѣть, сердясь на увеличивающіеся съ каждымъ днемъ поборы за смотръ.

О бѣлугѣ говорили на улицахъ, въ домахъ, въ присутственныхъ мѣстахъ; всякій разсказывалъ, что онъ никогда не видывалъ такого хвоста, такого глаза; всякій фантазировалъ по-своему; бѣлуга была новостью и предлогомъ къ возобновленію разговоровъ, хотя бы эти разговоры уже восемь разъ возобновлялись бѣлугой. Теперь уже не спрашивали на возглашеніе: слышали ли вы новость?—какая это новость, а прямо говорили: чудеса! Въ высшихъ слояхъ общества тоже говорили о бѣлугѣ и разсуждали о томъ: что имъ лучше приготовить изъ рыбы? Прошло пять дней, орѣховцы потеряли терпѣніе ждать, что-то дальше будетъ изъ бѣлуги; она, такъ сказать, нарушила ихъ покой. Но больше всѣхъ терялъ терпѣніе обладатель рыбы. Пошелъ онъ къ городничему и попросилъ не тянуть его.

— А, спасибо, братецъ, что напомнилъ... Я ее самъ буду свидѣтельствовать. .

— Нельзя ли безъ энтого, ваше в-діе... Ужъ я вамъ лучшую часть представлю.

— Завтра утромъ я пріѣду... Будь готовъ.

Купецъ струсилъ не на шутку: а что, если въ рыбѣ найдутъ ребенка? вѣдь тогда запретятъ продавать ее... «Эхъ я дуракъ! брать бы мнѣ за смотръ по полтиннику... И теперь почитай полтораста рублей за всѣми расходами выручилъ, а тогда бы»... Но теперь уже никто и копейки не давалъ за смотръ, потому-что всѣ пересмотрѣли бѣлугу.

Утромъ часовъ въ девять, къ садкамъ пріѣхало все начальство въ формѣ; пришелъ зачѣмъ-то и священникъ съ требникомъ; чиновники, купцы, мѣщане, рабочіе, воспитанники—всѣ побросали свои занятія и явились смотрѣть, какъ будутъ рѣзать бѣлугу, и что въ ней окажется.

Народу было очень много. Всѣ смотрѣли на большіе два стола и на сидѣвшее въ креслахъ начальство.

Подвели бѣлугу къ берегу, плещетъ хвостомъ.

— Казаки, берите!—кричалъ частный приставъ.

Взяли казаки рыбу—вырвалась...

— Надо ее за хвостъ привязать!—сказалъ городничій.

— Нѣтъ-съ, колъ вбить въ хвостъ, а голову отрубить, — сказалъ одинъ членъ полицейскаго управленія.

— А кровь?

— У рыбы крови немного,—замѣтилъ докторъ-операторъ изъ нѣмцевъ, приготовляя инструменты.

Наконецъ, вбили въ хвостъ гвоздь огромнаго размѣра и привязали голову бѣлуги къ столу, на который наперли десять казаковъ. Операторъ началъ операцію, но копался долго надъ кожей бѣлуги.

Письмоводитель полиціи, на озаглавленномъ уже листѣ, приготовлялся писать актъ изслѣдованія.

— Рыба,—сказалъ операторъ.

— Тѣлъ нѣтъ?

— Извольте посмотрѣть.

Посмотрѣлъ городничій, за нимъ и всѣ удостовѣрились, что въ бѣлугѣ находится только мелкая рыба, которою она вѣроятно питалась.

— Стоило изъ чего хлопотать!—сказалъ недовольно городничій.

— Всеже...

— Мнѣ, по крайней мѣрѣ, было лестно въ присутствіи вашемъ сдѣлать опытъ,—говорилъ операторъ.

Всѣ стали удивляться, что въ такой большой рыбѣ не нашли ни человѣческихъ тѣлъ, ни животныхъ.

Стали вѣсить бѣлугу: вытянула тридцать пять пудовъ. Начальство съ часъ совѣщалось: признать ли эту рыбу годной къ употребленію или нѣтъ?

— Я нахожу неудобнымъ, потому-что нѣтъ примѣровъ, чтобы такую рыбу, которая очень могла когда-нибудь переварить ребенка, употребляли въ пищу,—ораторствовалъ городничій. Но начальство хотѣло покушать бѣлуги и противъ его увѣреній, что бѣлуга очень здоровая и пріятная рыба, городничій ничего не могъ возразить и приказалъ привезти ему самую лучшую часть.

Въ два часа рыбу всю раскупили: фунтъ ея стоилъ тридцать пять коп. Въ этотъ же день, со многими животами отъ бѣлуги вышло разстройство: одни понаѣлись изрядно, а какъ бѣлуга была очень жирна, то она и подѣйствовала вредно на пищевареніе, другіе, и такихъ было большинство, никакъ не могли покинуть мысль, чтобы 35 пудовая рыба когда-нибудь не сожрала ребенка. На третій день никто не могъ ѣсть рыбу, и многіе поскидали ее обратно въ рѣку...

Но зато это событіе важно, важно потому, что Орѣховъ извѣстенъ по бѣлугѣ въ десяти губерніяхъ, и теперь съ удовольствіемъ разсказываетъ о такомъ важномъ событіи всякій орѣховецъ, и бѣлуга вошла въ орѣховскій календарь: Осипъ Яковлевичъ на пятый день померъ, какъ бѣлугу рѣзали: поѣлъ ея много. У Ильи Степаныча Прохорова, какъ разъ въ день пойманія бѣлуги, дочка Саша родилась.

И надо полагать, никогда не забудется въ Орѣховѣ 35 пудовая бѣлуга, потому-что она составила орѣховцамъ славу, и они гордятся тѣмъ, что въ рѣкѣ, около нихъ, жила страшная, огромная рыба, одна голова которой вытянула семь пудовъ.

Изъ новой судебной практики.

Наконецъ-то и я, слава Богу, изъ канцелярскаго чиновника превратился въ должностное лицо: должность судебнаго пристава, при окружномъ судѣ, въ восьмомъ классѣ... Да! подумалъ я въ то время, когда шелъ домой изъ окружного суда въ мундирѣ 8-го класса, взятомъ мною напрокатъ за три рубля, и съ цѣпью на груди: вотъ бы порадовался моему счастію мой батюшка, умершій чиновникомъ 10-го класса на шестидесятомъ году, тогда какъ мнѣ всего-то двадцать седьмой годъ. Да. Слава Богу!

Назначили меня въ г. Х., находящійся вблизи Петербурга. Пути сообщенія—желѣзная дорога съ Петербургомъ, а съ упраздненнымъ городомъ Ильинскимъ—по шоссе. Такъ какъ насъ послали въ уѣзды въ концѣ мая, то я нигдѣ не могъ въ Х. найти квартиры на весь годъ и принужденъ былъ заплатить за лѣто 40 руб., т.-е. по 1-е сентября за двѣ комнаты.

По провинціальному обычаю (Х. тоже провинціальный городъ), я долженъ былъ явиться къ х—скимъ должностнымъ лицамъ, какъ-то: исправнику, полицеймейстеру, судьямъ—уѣздному и мировому—и казначею. Конечно, я могъ бы и не являться ни къ кому на томъ основаніи, что я подвластенъ только окружному суду, но со всѣми ими я долженъ буду имѣть столкновенія. Ну, и сходилъ. Кромѣ мирового судьи, всѣ упомянутыя лица меня приняли очень сухо, съ вопросомъ «что скажете?» Полицеймейстеръ даже спросилъ такимъ образомъ: а вамъ мундиръ тоже полагается?—(я былъ не въ мундирѣ, потому-что не сшилъ еще, а тотъ, въ которомъ я принималъ присягу, взятъ былъ мною на прокатъ за три рубля). Казначей долго распрашивалъ меня: что это за должность судебнаго пристава, и доказывалъ, что если онъ какимъ-нибудь образомъ подвергнется денежному взысканію, то съ него взыскивать нечего, такъ какъ все имущество въ комнатахъ: столы, стулья, образа, комоды—принадлежатъ его матери. Однако я со всѣми ими не считалъ нужнымъ пускаться въ ненужныя разсужденія. Но мнѣ визита никто не отплатилъ,—оно и лучше для меня.

Прожилъ я въ Х. два дня. Дѣла нѣтъ. Скука. Вдругъ приходитъ хозяйка и спрашиваетъ меня:

— Осмѣлюсь спросить: вы изъ какихъ?

— А что?

— Такъ. Пришелъ городовой. Говоритъ: приказано спросить, кто вы такіе?

Я расхохотался и сказалъ городовому, что полиціи затрудняться нечего въ прописке меня въ Х., такъ какъ у меня билетъ, выданный мнѣ изъ с.-петербургскаго окружного суда, за подписью предсѣдателя. Хозяйка же моя, хотя и была замужемъ за чиновникомъ, на первыхъ порахъ рѣшительно не понимала моей должности, да и теперь она меня называетъ не иначе, какъ слѣдственнымъ приставомъ, и пристаетъ, съ тѣмъ, чтобы я на домъ ея прибилъ вывѣску. Изъ разговоровъ ея съ гостями я замѣчаю какое-то недовѣріе ко мнѣ. Разъ я даже подслушалъ такой разговоръ: «удивительные нынѣ порядки; надѣнетъ цѣпь и пойдетъ. А что онъ тамъ дѣлаетъ, гдѣ онъ служитъ—одному Богу извѣстно. Думаю отказать отъ квартиры,—потому бѣды какой бы не было»...

Удивился я, что мнѣ изъ окружного суда не посылаютъ никакого порученія, и на четвертый день моего пребыванія въ Х. надѣлъ цѣпь и отправился въ почтовую контору. Народу, какъ водится, много; почтальоны и почтмейстеръ заняты. Я былъ въ пальто, и поэтому цѣпи видно не было. Поэтому я, вытащивъ изъ жилетнаго кармана бляху, сталъ побрякивать цѣпью. Публика обратила на меня вниманіе; замѣтилъ меня и почтмейстеръ.

— Посторонитесь!—сказалъ онъ публикѣ.

Публика раздвинулась; я подошелъ къ столу. Почтмейстеръ протянулъ мнѣ руку и ждалъ, что я скажу.

— Я пришелъ къ вамъ, г. почтмейстеръ, справиться: нѣтъ ли х—скому судебному приставу Х. пакетовъ изъ с.-петербургскаго окружного суда?

Почтмейстеръ поглядѣлъ на меня съ удивленіемъ, потомъ спросилъ:

— Какъ вы сказали?

— Приставу окружного суда по г. Х. и его уѣзду.

— Гм!.. Это что же: по гласному суду, должно быть?

— Да. Пожалуйста, прикажите справиться, сказалъ я, и не желая, чтобъ онъ излишними распросами задерживалъ публику, отошелъ къ подошедшему къ другому столу почтальону. Пакетовъ не было, и я, оставивъ свой адресъ въ почтовой конторѣ, отправился въ Петербургъ въ канцелярію окружного суда, гдѣ и взялъ порученіе: вручить повѣстку чиновнику, живущему въ 50-ти верстахъ отъ Х.

Я очень обрадовался первому порученію. Но вдругъ явился вопросъ: какъ ѣхать? Жалованья судебные пристава еще не получали; о прогонныхъ деньгахъ еще не сдѣлано никакого распоряженія. Дадутъ ли мнѣ лошадей?

Прихожу въ х—скую земскую управу, спрашиваю: гдѣ и у кого я могу достать лошадей въ уѣздъ?

— Идите въ уѣздное полицейское управленіе; оно вамъ дастъ *подъемныхъ*,—объяснили мнѣ въ управѣ. Что такое подъемныя, я, петербургскій уроженецъ, не могъ понять.

Прихожу въ управленіе, объясняю, въ чемъ я нуждаюсь.

— Открытый листъ?—спрашиваютъ, и тамъ же я узнаю, что изъ Х. гоньбу держитъ П. по всему уѣзду, а отъ П. подряжается возить до нѣсколькихъ мѣстъ секретарь земскаго суда. Оказалось, что за требованіемъ лошадей я долженъ явиться къ секретарю земскаго суда.

Являюсь въ земскую управу; переговорилъ съ секретаремъ земскаго суда, онъ далъ открытый

листъ, — *на обывательскихъ за указанные прогоны* съ будущимъ по $2^1/_2$ коп. на лошадь.

— Позвольте мнѣ лошадей получить?—прошу секретаря.

— Не могу. У меня лошадей всего пара, и тѣ въ разгонѣ.

— Мнѣ дѣла нѣтъ.

— Да вы подождите до завтра. Вотъ тоже и докторъ и становой приставъ не скоро же ѣздятъ въ уѣздъ.

Я приступилъ къ нему рѣшительно, и онъ далъ мнѣ... что бы вы думали?—извозчика съ пролеткой, а я заплатилъ прогоны по $2^1/_2$ коп. на лошадь съ версты... Эта штука, какъ я узналъ, выдумана секретаремъ или подрядчикомъ контрагента П., потому-что у него, подрядчика, только 2 лошади, и хотя онъ отъ П. получаетъ въ годъ за гоньбу 500 руб. сер., но больше двухъ лошадей не держитъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чиновниковъ ѣздитъ немного въ мѣсяцъ, 2) держать нѣсколько паръ лошадей убыточно и 3) навернулся ѣздокъ—извозчику можно дать дешево. Ѣздокъ поѣдетъ до извѣстнаго мѣста. «Я свое дѣло сдѣлалъ, а тамъ—открытый листъ»...

Дорога скверная; мѣстность болотистая, кочковатая, съ ямами. Нѣсколько разъ мой возница отдыхалъ, проклиная все на свѣтѣ, и наконецъ около какой-то деревни остановился.

— Неужели пріѣхали? спросилъ я извозчика.

— Пріѣхали. Да я только доселева: десять верстъ... На водочку пожалуйте. . Лошаденка-то... и!—онъ показалъ на лошадь. Лошадь дѣйствительно кое-какъ шла.

Я попросилъ извозчика сыскать мнѣ старосту или хотя подводу.

Деревня состоитъ изъ шести чухонскихъ домовъ, которые ничѣмъ не огорожены. Поля тощи, да и на нихъ вода. Я хотя и вытащилъ на показъ свой знакъ, но принужденъ былъ стоять на одномъ мѣстѣ, потому-что куда ни повернись—вездѣ грязь и вода. Ребята стоятъ въ отдаленіи и съ удивленіемъ смотрятъ на меня. Наконецъ, вышелъ извозчикъ и говоритъ: лошадей во всей деревнѣ не найти, потому чухны ни одного слова не знаютъ по-русски.

— Такъ хоть ты, ради Христа, довези меня до села или до старосты.

— Хоть двойные прогоны дашь, ваше б-іе, такъ и тутъ не повезу... Смотри, дорога-то! только однимъ чухнамъ и ѣздить.

Кое-какъ я уговорилъ извозчика за полтинникъ довезти меня до какого-нибудь мѣста, гдѣ бы мнѣ можно было встрѣтить чухонца, понимающаго по-русски.

Доѣхалъ кое-какъ. Отвѣтчикъ живетъ въ деревнѣ.

— Что скажете?—спросила меня кухарка.

— Такой-то здѣсь живетъ?

— Здѣсь, да они опочиваютъ.

— Надо разбудить: дѣло важное, судебное.

— А вы войдите туда—(она указала на дверь, выходящую изъ кухни во внутренніе покои)—а я ужо схожу.

Она ушла. Немного погодя, вернулась съ толстой барыней въ ситцевомъ платьѣ, босою, съ непокрытой головой. Барыня поглядѣла на меня съ удивленіемъ и спросила:

— Да вы... Вы отъ кого?

— Именемъ закона прошу разбудить г. такого-то. Я привезъ ему повѣстку с.-п.-б. судебной палаты и долженъ вручить лично, иначе я повѣстку прибью на волостномъ правленіи.

Барыня струсила, и черезъ полчаса я былъ торжественно введенъ въ чистую комнату. Отвѣтчикъ въ худенькомъ халатѣ, въ калошахъ. Онъ нѣсколько разъ прочиталъ повѣстку и, наконецъ, сказалъ:

— Не понимаю!

— Вамъ такого-то числа велѣно явиться въ судебную палату. При васъ будутъ спрашивать истца въ чемъ дѣло, вы будете возражать...

— Да какъ же онъ, подлецъ, теперь у меня купилъ лѣсу, выстроилъ домъ и потомъ вдругъ денегъ не заплатилъ и подаетъ просьбу, что я ему долженъ?

— Судъ разсудитъ... Пожалуйста, роспишитесь, что получили.

— Извольте, извольте.

Отвѣтчикъ засѣменилъ, но чернилъ не оказалось. Къ счастью, я взялъ съ собой дорожную чернильницу и перо.

Съ часъ мы поговорили съ нимъ о гласномъ судѣ. Онъ только слышалъ, что какой-то гласный судъ будетъ, и не понималъ, что это такое. Повѣстка его сильно опечалила: «Ну, какъ,—говорилъ онъ,—я при народѣ буду изъясняться?»—За чаемъ онъ, переминаясь, вдругъ спросилъ:

— А что же... вамъ за труды?..

— За какіе?

— Помилуйте... Нѣтъ, ужъ я... И онъ всталъ.

Я тоже всталъ и сказалъ:

— На счетъ благодарностей вы не безпокойтесь, мы люди не такіе... А вотъ я васъ хочу попросить: помогите мнѣ уѣхать отсюда.

— О, съ полнымъ моимъ удовольствіемъ. Я на своихъ бы...

— Въ такомъ случаѣ, до свиданія...

— О!.. Ради Бога... Подождите.

Онъ одѣлся и вышелъ. Черезъ полчаса у воротъ стояла чухонская телѣга, запряженная парой лошадей. Я распростился съ отвѣтчикомъ, спросивъ его предварительно, за сколько онъ нанялъ.

Такъ кончилъ я первое порученіе.

Мало-по-малу мнѣ стали давать изъ земской управы открытые листы; на извозчикахъ съ пролетками я не сталъ уже ѣздить съ тѣхъ поръ, какъ завѣдывающіе гоньбой люди узнали, что я человѣкъ тоже должностной, и они изъ-за меня, пожалуй, могутъ попасть впросакъ. Все это имъ объяснилъ становой приставъ, которому я очень не понравился, что онъ мнѣ при первомъ же свиданіи выразилъ такими словами: «Много у казны денегъ? Насъ ни во что ставятъ, а вотъ поглядимъ, какъ вы, судебный приставъ, безъ меня обойдетесь».

И дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ мнѣ

нельзя было обойтись безъ станового пристава, потому-что со стороны частныхъ лицъ случались сопротивленія, но и тутъ они, становые пристава, неохотно брались за свое дѣло, отказываясь чѣмъ-нибудь. Впрочемъ, я постоянно вожу съ собой судебный уставъ: безъ него, т.-е. безъ указанія на статьи закона, съ людьми старинныхъ убѣжденій ничего не подѣлаешь, потому-что они всякаго человѣка считаютъ за взяточника...

Практики довольно, и мнѣ почти постоянно приходится возиться не съ крестьянами, которые нисколько не возражаютъ, а совѣтуются, что имъ дѣлать въ какомъ-нибудь случаѣ, но съ разными господами, которые на судебнаго пристава смотрятъ, какъ на передѣланнаго полицейскаго чиновника.

Прихожу я, напримѣръ, къ барину,—лакеи не пускаютъ и говорить со мной не хотятъ. Я взялъ съ собою двухъ городовыхъ, но городовые вступили въ длинныя разсужденія съ лакеемъ, косо глядя на меня и говоря, что они тутъ ни при чемъ.

— Баринъ занятъ,—говоритъ мнѣ другой лакей.

— Городовые, вы слышите? Подите, доложите вашему барину, что если онъ не возьметъ самъ отъ меня повѣстки, я ее прибью на полиціи,— сказалъ я лакею.

Лакей, смѣясь, ушелъ, а черезъ нѣсколько минутъ явился баринъ и закричалъ.

— Что вамъ угодно, м. г.?! вамъ говорятъ, что я занятъ...

— Я приставъ окружного суда и принесъ вамъ повѣстку... Не угодно ли посмотрѣть статью въ судебномъ уставѣ?—сказалъ я, показывая на судебный уставъ.

— Я самъ чиновникъ. — Вы могли бы послать *требованіе* въ конвертѣ.

Не желая слушать дерзости и понапрасну терять время, такъ какъ мнѣ нужно еще было ѣхать въ уѣздъ, я спросилъ его:

— Угодно вамъ принять повѣстку?

— Покажите.

Я отдалъ; онъ прочиталъ, пригласилъ въ залъ и вдругъ сдѣлался вѣжливъ.

— Скажите, пожалуйста—если бы вы меня не застали дома?—спросилъ онъ меня вдругъ.

— Я бы сталъ дожидаться.

— А если бы я уѣхалъ въ Петербургъ?

— Я бы послалъ туда повѣстку, или бы прибилъ ее на полиціи.

Этому же барину была послана въ другой разъ другая повѣстка, онъ меня не принялъ. Я отправился въ полицію и говорю полицеймейстеру:

— Мнѣ нужно прибить повѣстку на полиціи.

— Такъ вотъ я вамъ и дозволю пачкать стѣны!—возразилъ тотъ.

Я показалъ статью въ судебномъ уставѣ; полицеймейстеръ отрядилъ мнѣ двухъ полицейскихъ служителей и квартальнаго: повѣстку приколотили торжественно.

Но врученіе повѣстокъ еще пустое дѣло: не принимаютъ—прибьешь на полиціи копію съ повѣстки,—а вотъ другое дѣло исполненіе рѣшеній.

Разъ нужно было взыскать съ одной барыни деньги... Объявляю я ей объ этомъ.

— Э, батюшка! я уже двадцать разъ описана... Посмотрю, что́ вы станете описывать.

Я справился, гдѣ слѣдуетъ; оказалось, что описывать еще есть что. Назначилъ день описи имѣнія, она на меня пожаловалась, но жалобу ея не приняли въ уваженіе. Явился я въ день срока къ описи имущества; истецъ не явился, а такъ какъ по судебному уставу предоставлено оцѣнивать, въ случаѣ отсутствія истца, отвѣтчицѣ, то она тѣ вещи, которыя стоятъ десять рублей, показала въ сто. Само-собой, разумѣется, что вещей никто не купилъ, и истецъ остался мной недоволенъ.

Въ другой разъ пріѣзжаетъ ко мнѣ купецъ-истецъ.

— Взыскали?—спрашиваетъ.

— Я не могъ приступить ко взысканію, потому что, на основаніи такой-то статьи устава, вы должны мнѣ показать, какое у отвѣтчика есть имущество.

— А я почемъ знаю?

— Мнѣ болѣе вашего нельзя знать.

— Ну, ужъ и порядки... Да у него есть домъ въ Петергофѣ, въ Коломнѣ.

— А самъ онъ гдѣ живетъ?

— Здѣсь.

Отвѣтчика мы въ Х—ѣ не розыскали и свѣдѣній о немъ въ полиціи не нашли.

Нельзя не упомянуть о томъ, что нашему брату не только истцы, но и отвѣтчики предлагаютъ подарки, ссылаясь на то, что теперь все дѣлается скоро, а прежде они никакъ не могли насытить полицію. Однако, на сколько я знаю судебныхъ приставовъ, они подарковъ не берутъ, а взыскиваютъ по таксѣ положенную сумму за повѣстки, приложеніе печатей и т. п. При этомъ взысканіи я обыкновенно показываю тотъ № «Судебнаго Вѣстника», въ которомъ напечатана такса, и отдающій деньги удивляется непремѣнно такъ:

— Странные вы, право, господа, съ новымъ судомъ! Ну, что это за деньги... Ужъ вы, господа, не изъ нигилистовъ ли?

Впрочемъ, послѣдній вопросъ предложилъ мнѣ только одинъ адвокатъ.

Кстати объ адвокатахъ: мудреные между ними бываютъ люди.

Нужно было одному изъ нихъ получить съ одной барыни нѣсколько тысячъ рублей. По уговору, заключенному истицей съ адвокатомъ, онъ долженъ былъ представить истицѣ капитальную сумму, а проценты взять себѣ за труды. Барыня отвѣтчица не согласилась уплатить деньги, и я описалъ ея имущество. За три дня до продажи ея имущества, она вдругъ говоритъ мнѣ, что желаетъ уплатить долгъ деньгами, только не знаетъ сколько. Я хотя и высчиталъ, сколько съ нея требуется, но не зналъ, сколько нужно взыскать судебныхъ издержекъ и извѣстилъ объ этомъ адвоката. Тотъ написалъ мнѣ, что судебныхъ издержекъ слѣдуетъ получить 500 руб. Это меня удивило, потому-что по моему счету судебныхъ издержекъ приходилось не

больше ста пятидесяти рублей, и я сталъ дожидаться его. Пріѣзжаетъ онъ ко мнѣ, я и спрашиваю у него счетъ судебнымъ издержкамъ.

— Помилуйте, какой тутъ счетъ! Сами знаете, какія у насъ судебныя издержки.

— Напримѣръ?

Адвокатъ улыбается и вдругъ спрашиваетъ:

— Неужели у васъ нѣтъ канцеляріи?

— Я управляюсь одинъ.

— Полноте! Вотъ у меня такъ своя канцелярія.

Пятисотъ я не далъ ему взыскать, и онъ взыскалъ гораздо меньше, и ему все-таки за труды по этому дѣлу пришлось болѣе двухъ тысячъ руб. Получивъ деньги, онъ вдругъ даетъ мнѣ сто рублей.

— Это вамъ.

— Извините, я не возьму. А если у васъ много денегъ, вы можете первому встрѣчному или голодному человѣку раздавать ваши деньги.

— Однако, вы странный человѣкъ... Судебныя издержки—понимаете? тому, другому...

Но я не взялъ. Такъ повѣренный и уѣхалъ, недовольный мною.

А другой адвокатъ, удивляясь тому, что я не взялъ подарка, предлагалъ мнѣ жениться на одной барышнѣ съ капиталомъ, и даже обѣщалъ быть сватомъ...

У одной барыни я разъ описывалъ имущество. Имущество было плохонькое, но состояло изъ разнородныхъ вещей. Къ каждой вещи я приложилъ печать. Барыня вздумала уплатить долгъ до продажи имѣнія. Истецъ получилъ деньги, я сталъ срывать печати и за каждую печать сталъ требовать по пятаку.

— Это за что же?—спросила барыня.

— Закономъ такъ велѣно.

— И батюшка! законъ... Вы все изъ меня выжали; и то ужъ золото и серебро за безцѣнокъ продала, да ему всѣ деньги и всучила... Вы съ него и взыскивайте благодареніе-то.

— Не угодно ли посмотрѣть, вотъ распоряженіе правительства?

— Что мнѣ распоряженія... Всякіе порядки хороши,—нечего сказать!

— Однако, будете вы платить за печати и прочее?

Барыня задумалась.

— Вы знайте, что я не квартальный, а исполнитель новаго суда. Я думаю, вы помните слова, сказанныя въ манифестѣ Государемъ: правда да царствуетъ въ судахъ.

Барыня зарыдала, увѣряя, что ее раззорили въ конецъ, и на отрѣзъ сказала: «что хотите берите изъ вещей, а денегъ не могу отдать ни копейки». Я, оцѣнивъ, въ качествѣ истца, вещи получше, приложилъ къ нимъ печать, заперъ чуланъ, въ которомъ онѣ хранились, и припечаталъ его. И когда я уже въ Х. писалъ донесеніе по этому дѣлу предсѣдателю окружного суда, эта барыня явилась ко мнѣ.

— Я вамъ привезла деньги.

— Очень хорошо. Вы оставьте у меня, я распишусь; а завтра отправлюсь къ вамъ.

— Нѣтъ ужъ, г. приставъ, нельзя ли поскорѣе, со мной? Вотъ вамъ двадцать рублей.

Поѣхали. Оказалось, что за двойное припечатаніе вещей съ нея приходилось получить два рубля десять коп., да за описи, бумаги и теперешній проѣздъ впередъ и обратно (по желѣзной дорогѣ)—всего шесть рублей.

— А если бы вы тогда не упорствовали, то заплатили бы только половину,—сказалъ я.

Барыня глаза выпучила. Я писалъ, что получилъ деньги.

— Вотъ вамъ росписка.

— Какая?.. что вы! Только шесть?!

— Только.

Барыня не трогалась съ мѣста и съ удивленіемъ смотрѣла то на меня, то на деньги.

— Да вы возьмите.

— Не могу... До свиданія!

Барыня схватила меня за рукавъ и произнесла:

— Однако?

— Извините, мнѣ некогда.

— Хоть чайку и кофе.

Такъ какъ у меня свободнаго времени было часа два, т.-е. до отъѣзда поѣзда оставалось два часа, то я и остался. Барыня любезно разговаривала со мной, распрашивала о новыхъ порядкахъ, совѣтовалась въ томъ, какъ ей поступить съ однимъ человѣкомъ, не платящимъ ей по закладной. Скоро явилась двоюродная ея сестра, черномазая дѣвица, годовъ подъ тридцать, которую я принялъ за горничную. Хозяйка рекомендовала ей меня.

— Отгадай, Анетъ!—вдругъ спросила хозяйка сестру.

— Что такое?

— Новые порядки: ни копейки съ меня не взялъ.

Сестра посмотрѣла на меня изъ подлобья и начала вдругъ:

— Да... мы вообще всѣ такого убѣжденія, что каковъ бы ни былъ прогрессъ, или реальность и тому подобныя цивилизаціи, но человѣчество всюду имѣетъ, такъ сказать, преткновенія...

Я улыбался... И дальше не могу продолжать того, что она говорила,—забылъ.

— А вы женаты?—вдругъ спросила меня хозяйка.

— Да.

— И домъ имѣете?

— Нѣтъ; однимъ жалованьемъ живу.

Разговоръ продолжался на эту тему, и мнѣ ужасно надоѣлъ, такъ-что я поторопился выпить второй стаканъ чаю и отблагодарить хозяевъ за радушіе.

Я не стану распространяться о выдачѣ повѣстокъ и взысканіи денегъ за повѣстки и другія бумаги. Это вещи пустыя; но я буду говорить преимущественно объ исполненіи рѣшеній.

Прихожу я въ городѣ Х. къ одному купцу-домовладѣльцу и занимающемуся торговлей въ разныхъ мѣстахъ. Срокъ, назначенный въ повѣсткѣ, вручен-

ной его сыну, о времени приступленія къ принудительному исполненію рѣшенія, окончился. Съ него нужно было взыскать деньги. Мнѣ говорятъ, что онъ теперь въ своемъ магазинѣ. Въ это время былъ четвертый часъ.

Прихожу въ магазинъ; какъ водится, вытащилъ бляху; приказчики поглядѣли на меня съ любопытствомъ.

— Позвольте узнать, не здѣсь ли хозяинъ?— спросилъ я.

— Да вамъ кого?

— Хозяина, такого-то.

— Онъ въ энти часы опочиваетъ... А что вамъ сказали, что онъ здѣсь—такъ энто пошутили.

— Когда жъ я его могу видѣть?

— А вы вѣрно изъ новаго суда?.. Неужель что плохо?.. Разскажите, ради Христа...—приступили ко мнѣ приказчики и не дали положительнаго отвѣта. Такъ я и ушелъ ни съ чѣмъ.

Вечеромъ былъ у меня истецъ и разсказывалъ, какъ неблагородно поступилъ съ нимъ купецъ, и совѣтовалъ прійти къ нему во время обѣда. Такъ я и сдѣлалъ. Позвонилъ. Отворилъ мальчикъ и загородилъ входъ руками, но я пробрался въ прихожую, сбросилъ пальто и вошелъ въ залъ. Мальчикъ почти съ кулаками присталъ ко мнѣ.

— Да вы!.. да я!.. да онъ!..—горячился мальчикъ и убѣжалъ налѣво.

Немного погодя, вышелъ хозяинъ; но онъ, не горячась, медленно подошелъ ко мнѣ и смиренно спросилъ:

— Вы изъ суда?

— Точно такъ. Потрудитесь прочитать исполнительный актъ судебной палаты; срокъ назначенный по моей повѣсткѣ, кончился, и я приступаю къ рѣшенію. И я отдалъ ему исполнительный листъ.

— Присядьте на минутку.—Сказавъ это, онъ ушелъ.

Я боялся садиться и ждать его возвращенія, въ томъ предположеніи, что кто его знаетъ, что у него на душѣ; а если онъ изорветъ исполнительный листъ, и мнѣ объявятъ, что хозяинъ уѣхалъ? Тягайся съ нимъ! Онъ десять присягъ приметъ и скажетъ, что отъ меня не получалъ никакой бумаги: свидѣтелей не было въ то время, когда я отдалъ ему листъ. Я пошелъ за купцомъ, но онъ уже былъ въ кабинетѣ; двери кабинета были заперты. Я постучалъ. Двери отворилъ купецъ.

— Это что значитъ?—крикнулъ онъ.

Я вошелъ въ кабинетъ; купецъ еще больше разсвирѣпѣлъ.

— Я васъ за дерзости выгоню!.. Я на васъ жалобу начальству подамъ.

— Извините за невѣжливость... Но я вамъ отдалъ исполнительный листъ только прочитать.

— Какъ? Развѣ я его не долженъ имѣть при себѣ, какъ документъ? Говоря это, купецъ смягчился и подошелъ къ столу.

— Извольте посмотрѣть. И я показалъ ему 957 ст. суд. уст. гражд.

Прочитавъ, купецъ пригласилъ меня сѣсть и позвонилъ. Когда вошла женщина, онъ велѣлъ ей приготовить закуску въ залѣ.

— Удивительно!.. Такъ что жъ это?.. Для чего мнѣ эта бумага?

— Для того, чтобы вы не сомнѣвались, что съ васъ слѣдуетъ взыскать деньги.

— Кто жъ будетъ получать?

— Я.

— А ежели у меня сегодня нѣтъ ни копейки въ домѣ?

— Это зависитъ отъ васъ: я не могу больше ждать, потому-что истецъ можетъ жаловаться.

— Э! что эта шлюха!!! Плевать мнѣ на нихъ на всѣхъ!.. А деньги, скажите вы ему, я когда хочу, тогда и отдамъ. Такъ вы ему и скажите!.. А теперь пойдемте обстоятельства поправить, а тамъ и потолкуемъ.

— Благодарю васъ. Позвольте мнѣ исполнительный листъ.

Онъ отдалъ. Я пошелъ, думая пригласить свидѣтелей и полицію и начать опись имущества.

— Вы куда? Али брезгуете мной?

— Если вы сейчасъ не заплатите всѣхъ денегъ, какія слѣдуютъ съ васъ по исполнительному листу, я приглашаю полицію и начинаю описывать ваше имущество.

Купецъ разразился хохотомъ.

— Ка-акъ!! меня!.. меня описывать? Дудки!!!— Я вышелъ на улицу и подозвалъ городового; но вдругъ мальчикъ крикнулъ мнѣ съ крыльца:

— Эй вы! Идите; баринъ кличетъ!

«Комедія», думаю, и подозвавъ еще городового, я вошелъ съ тріумфомъ въ прихожую купца.

— Идите за мной,—сказалъ я городовымъ.

Городовые не трогались.

Вдругъ выходитъ изъ комнаты налѣво мальчикъ и говоритъ мнѣ:

— Баринъ цѣну спрашиваетъ.

— Городовые, стойте тутъ до моего прихода,— сказалъ я стражамъ, а самъ пошелъ за мальчикомъ.

Купецъ ходилъ по кабинету. Я всталъ въ дверяхъ. Минутъ семь продолжалась пауза.

— Сколько?!—спросилъ меня не то вѣжливо, не то съ презрѣніемъ купецъ, и съ тяжелымъ вздохомъ сѣлъ въ кресло, стоявшее передъ его письменнымъ столомъ.

Я сказалъ долгъ, проценты и свои судебныя деньги.

— Какія же это еще судебныя издержки?

Я объяснилъ.

Купецъ отдалъ деньги, я далъ ему росписку.

Прочитавъ росписку, онъ сказалъ:

— Все?

— Все. До свиданья.

— Прощайте... А что на счетъ того... благодарности—вотъ вамъ! (и онъ указалъ на дверь).

Когда я надѣвалъ пальто, купецъ вошелъ въ залъ и, увидѣвъ меня, сказалъ:

— И всѣмъ закажи: коли кто со мной грубо— самъ грубъ, потому мнѣ какому ни на есть оборвышу валяющій рубль не въ тягость подать.

Въ другомъ мѣстѣ, въ уѣздѣ, когда я пріѣхалъ съ истцомъ къ дому отвѣтчика, по истеченіи срока моей повѣстки, то засталъ ворота запертыми. Когда я вручалъ повѣстку отвѣтчику, онъ принялъ меня вѣжливо, разсыпался мелкимъ бѣсомъ, угостилъ обѣдомъ и, главное, увѣрялъ, что до истеченія срока, сказаннаго въ моей повѣсткѣ, все уплатитъ. Во время бытности моей у него, я любовался его цвѣтами, разставленными на окнахъ и на полу. Цвѣты на окнахъ и теперь стояли, но окна были не отворены. Сколько я ни стучался въ ворота—не отпираютъ, даже собака, находившаяся раньше во дворѣ, не лаетъ... Остается одно—перелѣзть черезъ заборъ... но этого я не сдѣлалъ.

Идетъ по дорогѣ крестьянка.

— Голубушка, спрашиваю, не знаешь ли, что случилось съ этимъ домомъ?

— Не знаю, кормилецъ.

— Ты часто проходишь здѣсь?

— Чего?

— Куда ходила-то?

— Да вонъ тутъ въ Лукшу, за семь верстъ, грибы сбирала.

— Живешь, значитъ, тамъ?.. Ну, а утромъ ворота были отперты?

— Не знаю... До всякаго дома не доглядишь.

Барскій домъ, обращающій на себя вниманіе крестьянъ, привлекъ бы и утромъ вниманіе всякаго прохожаго, если бы ворота были отперты. Значитъ, я сдѣлалъ неумѣстный вопросъ.

— Да тѣ что!.. Уѣхали—и все тутъ!—прокричалъ мнѣ дѣтина изъ кабака.

— Куда?

— Вчера утромъ рано. А куда—сказывать не велѣно.

— Но кто-нибудь есть?

Дѣтина кивнулъ головой и однимъ пальцемъ сталъ звать меня къ себѣ. Я пошелъ.

— Что дашь?

— На косушку.

— Ничего не надо!.. А я тѣ скажу, какъ есть всѣ дома, только самъ на охоту уѣхадши... А ты по миру?

— Да... Я тебя приглашаю въ свидѣтели—можно?

— И—и! Я лучше полштофа водки уничтожу, только чтобъ эти свидѣтельства... По одному дѣлу былъ я въ судѣ—страсти! Народу—и Господи ты мой!!.. Потомъ присяга... потомъ рацея... потомъ, говоритъ, въ Сибирь, коль что не по сердцу... А найди ты, кто по сердцу живетъ... Потомъ исторья: все говоритъ—говори... Господи!..

— Тутъ совсѣмъ не то; здѣсь ты мнѣ будешь помогать двери отпирать.

— А вотъ какъ другіе.

Въ этомъ случаѣ я обязанъ 978 ст. уст. гражд. судопроизв. приглашать для бытности при наложеніи ареста члена мѣстной полиціи. А такъ какъ, къ счастію моему, здѣсь жилъ становой приставъ, то я пошелъ къ нему.

— Извините. У меня очень спѣшное дѣло...—сказалъ онъ мнѣ.

— Мнѣ не надолго.

— Не могу: у меня въ станѣ убійство случилось. Возьмите сотскаго, разсыльнаго: разсыльный изъ солдатъ.

Положеніе довольно непріятное: пристава я отъ дѣла отрывать не могу; въ селѣ полиція состоитъ изъ станового, а вѣдь сотскій не полиція. Ѣхать въ городъ за полиціей,—скажутъ: а станъ на что?

Дѣлать нечего, взялъ сотскаго и нѣсколькихъ человѣкъ крестьянъ. По указанію одного крестьянина мы обогнули помѣщичью усадьбу и вошли въ садъ отворенной калиткой, выходящей на небольшое озеро. Въ саду бѣгаютъ дѣти, кормилица нянчится съ головалымъ ребенкомъ, какая-то пожилая дама, въ огромныхъ очкахъ въ черепаховой оправѣ, что-то вяжетъ двумя иглами. При входѣ нашемъ въ садъ, дѣти сперва разбѣжались, потомъ пошли за нами.

Въ домѣ всѣ двери, кромѣ кухонной, заперты. Я оставилъ двухъ человѣкъ во дворѣ и вошелъ съ двумя въ кухню. Тамъ суетились двѣ женщины.

— Дома хозяинъ?—спросилъ я женщинъ.

— Уѣхамши... не знаемъ, куда уѣхалъ.

— А хозяйка?

— И хозяйка уѣхавши.

Изъ собранныхъ мною раньше свѣдѣній я узналъ, что домъ принадлежитъ женѣ.

— Лошади и кареты у вашего хозяина есть?—спросилъ я.

— Какъ же! Недавно баринъ купилъ лошадь за триста рублей.

— А кучеръ есть?

— Кучеръ за грибами ушелъ.

— Что же мы станемъ дѣлать? Подождать или нѣтъ?—спросилъ я истца, входя въ комнату.

— Какъ знаете. Только по-моему, приступить бы къ описи.

Явилась вдругъ молодая женщина въ шелковомъ платьѣ. Гордо поклонившись намъ, она спросила:

— Что вамъ нужно, господа? Я домовладѣлица.

— Именемъ закона прошу васъ показать мнѣ вещи, принадлежащія вашему мужу.

— Да у моего мужа ничего нѣтъ своего: онъ все мое носитъ.

— Этого быть не можетъ... Я васъ прошу, иначе вы будете отвѣчать передъ закономъ.

— Везъ станового пристава я ничего вамъ не покажу.

— Становой уѣхалъ по своему дѣлу и далъ мнѣ десятскаго.

— Дѣлайте, что хотите... И она сѣла въ кресло.

— Напримѣръ, это кресло чье?—спросилъ я барыню.

— Мое.

— Доказательства?

— Вотъ мило! какія же еще вамъ нужны доказательства?.. Я вамъ го-во-рю мо-е!!

Я вписалъ кресло въ опись, истецъ оцѣнилъ его въ пятнадцать рублей.

— Ошибаетесь: мы за него заплатили семьдесятъ рублей. И какъ вамъ не стыдно, Александръ Ивановичъ! Послѣ тѣсныхъ отношеній къ моему мужу и нашему семейству, вы надѣлали намъ столько не-

пріятностей... И не грѣхъ вамъ это!—проговорила она истцу.

— Вольно же вамъ было не платить деньги.

— Свидѣтели, сколько по вашему кресло стоитъ?—спросилъ я свидѣтелей.

— А Господь ихъ знаетъ! По-нашему и пять такъ ладно.

Я выставилъ пятнадцать рублей.

— Картины чьи?

— Мои.

— Но мужъ вашъ, кажется, художникъ.

— Это его картины. Я ихъ видѣлъ у него до женитьбы. Эта стоитъ 25 рублей, эта 75, а вотъ та 15 и т. д.,—сказалъ истецъ.

Оцѣнивши нѣсколько вещей, я велѣлъ собрать ихъ въ одно мѣсто и приложилъ къ каждой ярлыкъ съ печатью, но такъ какъ не доставало еще рублей пятисотъ, и я не хотѣлъ ломать шкафовъ и комодовъ, отъ которыхъ ключи будто бы хранились у самого отвѣтчика,—то пошелъ во дворъ. Двое свидѣтелей, сидя спинами врозь у каретнаго сарая, спали.

Сарай былъ запертъ изнутри.

— Что жъ дѣлать-то!—спросилъ меня одинъ свидѣтель.

— Сдѣлай какъ-нибудь,—можетъ-быть, и отопрется... Стучи... Вѣроятно, тамъ кто-нибудь.

Стучали долго,—не отворяется. Свидѣтели оглядѣли дверь со всѣхъ сторонъ и рѣшили снять раму, находящуюся надъ дверьми. Истецъ согласился.

Сняли раму, одинъ свидѣтель, низенькій и худощавый человѣкъ, влѣзъ въ сарай и отворилъ намъ дверь. Мы вошли.

Въ сараѣ были одна карета и двѣ коляски. Мы оглядѣли коляски, потомъ подошли къ каретѣ—и что же? Въ каретѣ сидѣлъ, покрывшись простыней, отвѣтчикъ... Мы его взяли въ плѣнъ.

Ему такъ было стыдно крестьянъ, что онъ не зналъ, что сказать на первыхъ порахъ.

— Извините... я всегда сплю въ каретѣ...

— Эка! Солнце-то къ вечеру!

— А мы никакъ съ утра возжаемся,—говорили съ неудовольствіемъ свидѣтели.

Отвѣтчикъ, видя, что теперь онъ отъ меня никакими ухищреніями не отдѣлается, вылѣзъ изъ кареты и пригласилъ насъ въ домъ.

Случилось мнѣ разъ сдѣлать вводъ во владѣніе домомъ.

Какъ водится, я сдѣлалъ извѣщеніе, чтобы къ такому-то числу явились для присутствованія при вводѣ во владѣніе сельскій староста, свидѣтели—живущія въ селѣ лица, сосѣдніе помѣщики и два крестьянина.

Вводъ во владѣніе назначенъ былъ въ двѣнадцать часовъ, и когда я къ этому времени явился въ домъ новаго владѣльца, у него въ гостиной собравшіеся гости уже пили водку. Тутъ было два домовладѣльца, становой приставъ и одинъ помѣщикъ.

— Отчего же нѣтъ крестьянъ?—спросилъ я.

— Это за конмъ чортомъ! Вотъ невидаль какая!!

— Ну, хоть для формальности... Впрочемъ, законъ обязываетъ и не принадлежащихъ къ его составу лицъ участвовать при вводѣ во владѣніе,—сказалъ я.

— Это вы про меня?—спросилъ становой приставъ.

— Какъ же, какъ же!!. Становой нуженъ; безъ него, какъ безъ головы,—проговорилъ одинъ домовладѣлецъ.

— Господа, я начинаю вводъ,—сказалъ я торжественно, но спокойно.

Всѣ замолчали, но улыбались; я началъ читать актъ укрѣпленія. Прочиталъ.

— Ну-съ?—спросилъ меня становой.

— Позвольте чернилъ,—спросилъ я хозяина, и затѣмъ сталъ писать вводный листъ.

— Господа присутствующіе при вводѣ, подпишитесь.

— Да гдѣ же тутъ вводъ?

— Землю не мѣрили... Съ иконами или съ хлѣбомъ-солью не вошли въ домъ,—голосили свидѣтели.

— Я не подпишу!—горячился становой.

— Какъ вамъ угодно. Вы только можете подписаться такъ: присутствовалъ при вводѣ коллежскій асессоръ...

— Становой приставъ!

— Воля ваша, какъ хотите.

Послѣ подписи меня стали приглашать обѣдать, но я не остался, и когда вошелъ въ прихожую, то до моего слуха доходили такого рода слова: «Молокососишко!.. совсѣмъ избаловались они нынче... Выскочки—нашего брата ни во что ставятъ со своими новыми порядками. И чина, поди, дрянь, не имѣетъ»...

Мнѣ часто приходится имѣть дѣла съ такими людьми, которые или совершенно ничего не понимаютъ въ судебныхъ дѣлахъ, тѣмъ болѣе въ порядкѣ теперешняго судопроизводства или хотя и понимаютъ, да притворяются не понимающими и, подъ предлогомъ непониманія, стараются отвертѣться или отказаться отъ чего нибудь. Но сколько мнѣ ни приходилось сталкиваться съ тѣми и другими, я все-таки долженъ сказать, что съ не понимающими дѣло имѣть гораздо легче, если я человѣкъ необидчивый; съ понимающими же дѣло вести труднѣе, потому-что они къ мѣсту ссылаются или на законъ, или на свои званія, или, наконецъ, на различныя обстоятельства, не подходящія ни подъ законъ, ни подъ званія.

Нужно было кому-то въ самомъ городѣ вручить повѣстку, и я былъ одѣтъ совсѣмъ. Вдругъ, смотрю, къ моей квартирѣ подъѣзжаетъ пролетка, на которой сидитъ какой-то толстый господинъ съ сѣдою бородою и сѣдыми волосами на головѣ. Я подумалъ, что этотъ господинъ, вѣроятно, купецъ и пріѣхалъ непремѣнно ко мнѣ, потому что въ домѣ, въ которомъ я живу, квартируетъ небогатое семейство, къ которому никто на пролеткахъ не пріѣзжаетъ и куда изрѣдка развѣ кто-нибудь пѣшкомъ придетъ. Живу я въ мезонинѣ. Минуты черезъ три слышу, какъ затрещали половицы въ коридорѣ, и черезъ минуту послѣ этого въ мою прихожую явился тузъ и за нимъ еще какой-то чело-

вѣкъ. Оба субъекта, разумѣется, другъ на друга не походили ни тѣлосложеніемъ, ни лицами и разнились даже одеждой. На купцѣ надѣтъ длиннополый сюртукъ, съ высунувшимися изъ кармана концами платка, брюки драповые, сапоги смазные и скрипятъ сильно; товарищъ купца лѣтъ тридцати пяти, франтъ.

— Малецъ! А дома приставъ-то? — спросилъ меня вдругъ купецъ.

— Я самъ судебный приставъ,—рекомендовался я почтительно.

— Ты?! Будто ты самый?.. Не врешь?—проговорилъ купецъ насмѣшливо, вѣроятно, не вѣря тому, что я приставъ.

Я вытащилъ изъ кармана бляху.

— Знать приставъ, Андрюшка?—сказалъ купецъ своему товарищу; но тотъ только ротъ разинулъ и ничего не сказалъ.

— Ну, такъ здорово!.. Ты меня извини... Я человѣкъ простой. Принялъ я тебя за малаго, потому ты не въ мундирѣ.

Я пригласилъ ихъ въ комнату. Купецъ сѣлъ на диванъ, утеръ лицо платкомъ.

— Это твоя контора? спросилъ меня купецъ.

— Квартира. У меня конторы нѣтъ.

— Врешь? Какъ же ты приставъ-то!.. И надзирателя нѣтъ? И солдатовъ нѣту? — говорилъ купецъ удивленно.

Я не могъ удержаться, улыбнулся и сказалъ, что судебные пристава не пристава полицейскіе.

— Ну, извини... А я думалъ... Какъ же не то?.. И что же это приставъ? Вотъ это я знаю: частный приставъ. Это хорошо знаю: сиживалъ въ молодости не разъ въ хорошихъ мѣстахъ... А тутъ какъ-то у меня случилась кража — много тыщъ украли,—такъ что бы ты думалъ? Всѣ пристава заскакали и разыскали... Вотъ тоже винный приставъ, знаю! съ поклонами принималъ къ себѣ... Опять становой приставъ... Ну, этотъ-то назойливѣе всѣхъ будетъ, потому похвалялся знатно: мнѣ, говоритъ, на ту полицію плевать! я, говоритъ, самъ полиція... вотъ оно куда хватило! а ты не полиція?

— Нисколько: я считаюсь при окружномъ судѣ... Вы по дѣлу ко мнѣ?

— Постой, постой... дѣло не медвѣдь —въ лѣсъ не уйдетъ... А вотъ мы съ тобой поговоримъ... Аль брезговаешь мной? Садись рядкомъ, да потолкуемъ ладкомъ.

Я сѣлъ рядомъ съ купцомъ.

— Плоховата же у те контора, то бишь — фатера! Мои приказчики ни въ жизнь не станутъ въ такой жить... А вотъ что, другъ, дай испить кваску.

Я сказалъ, что, къ большому моему огорченію, въ домѣ ни у кого нѣтъ квасу, а вода есть. Купецъ отъ воды отказался.

— А мы ино въ трактиръ. Пойдемъ, другъ!

— Мнѣ некогда, у меня дѣла есть.

— Говорю: дѣло не медвѣдь—въ лѣсъ не уйдетъ.

— Вы изъ окружного суда?—спросилъ я купца, который мнѣ сталъ надоѣдать.

— Вотъ! Скажи-ка ты мнѣ, что это еще за судъ? И который это судъ: земскій судъ, уѣздный, третейскій... Четвертый? опять вонъ тоже совѣстливый; а словесный какъ?

Я объяснилъ.

— А сенатъ-то что же?... Эту домину продавать будутъ, что ли? Купилъ бы... право! И что жъ мнѣ говорили—скоро, скоро-де твое дѣло по новому рѣшать, а жду мѣсяцъ, два... слава Богу, рѣшили...

— Ну, а въ сенатѣ у васъ было дѣло?

— Было и не одно... Вотъ это по взысканію шесть лѣтъ тянули...

— А въ окружномъ судѣ два мѣсяца только.

— Просилъ... Ты, любезный, не смотри что я вахлакъ и слово связать по новому не умѣю... Я, братъ, первогильдейный купецъ; у меня вонъ покровители есть: что, говорятъ, тебѣ, Сидоръ Сидорычъ, надо?—Пустякъ!.. Вотъ что... Я и говорю: вотъ бы ради забавы, да ради утѣхи моей вотъ это дѣло рѣшили... — Не сомнѣвайся, говорятъ, Сидоръ Сидорычъ, живо повернемъ... Да я, братецъ ты мой, хоть и грамотѣ не умѣю, а все-жъ дилехтуромъ значусь... А это не шутка! просятъ много еще, да старъ ужъ я больно. Ну, а я къ тебѣ съ бумагами. Въ новомъ-то судѣ объявили: все кончено, и прирѣшили въ мою пользу взыскать вотъ съ здѣшняго купца. Такъ ты ужъ прочитай. (И онъ отдалъ мнѣ бумаги). Да громче читай.

— Я прочиталъ исполнительный листъ громко и понятно.

— Эва какъ мало писано!.. Прежде, бывало, эку книгу притащатъ; какъ поспишь послѣ обѣда и зовешь переписчика читать. Я у себя тоже свою контору держу, потому нельзя: подрядами занимаюсь... И начинаетъ парень читать: весь чай отопью, а онъ все читаетъ, такъ и уснешь... Одново раза просыпаюсь ночью... Что молъ за дьяволъ? Али кто померъ? какъ будто псалтырь читаютъ... Гляжу, мальчишка указы читаетъ... Такъ потомъ и сталъ заказывать: коли засну — уходи... А потомъ, какъ дѣла нѣтъ, опять и зову мальчишку: читай сызнова... Такъ надо быть никогда до конца и не дочитывалось... Ну, дакъ значитъ дѣло въ шляпѣ?... сичасъ и взыскъ?—спросилъ вдругъ меня купецъ.

— Какое имѣніе у вашего должника?

— Пустякъ!... Домишко есть, да что... А все-жъ пріобрѣсти не мѣшало бы, — проговорилъ купецъ, ухмыляясь и поглаживая бороду.

— Можетъ-быть, вашъ должникъ и заплатитъ наличными деньгами.

— Ну, это сорока-то на двое сказала: кабы хотѣлъ заплатить, али бы капиталы были, не заставилъ бы меня тратиться... Мало, что ли, я тратился? А впереди разѣ...

— Видите ли: по закону я долженъ послать вашему должнику повѣстку; въ этой повѣсткѣ я напишу, что если онъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня полученія повѣстки не уплатитъ долга, то я приступлю къ описи и продажѣ его имѣнія.

— Да кака тутъ опись? Ты мнѣ прямо предоставь домъ.

— Раньше двухъ мѣсяцевъ я не могу приступить.

— Какъ?! еще два мѣсяца ждать!.. Вотъ тѣ и новые суды!!

Тамъ рѣшали дѣло два мѣсяца, да взыскъ два мѣсяца... Удружялъ!!

— Не угодно ли я прочту вамъ статью закона?

И я прочиталъ ему 1095 ст. гражд. судопр., а такъ какъ купецъ не понялъ ее, то я и растолковалъ ему.

Купецъ взялъ уставъ въ руки, нѣсколько разъ поглядѣлъ на красную обложку на книгѣ и сказалъ:

— Почто же это книжка-то маловата? Видалъ я законы-то: книги большія и корки на нихъ тоже... Смѣкаю я: не тѣ законы...

Что вы прикажете дѣлать съ такимъ человѣкомъ? Ну, и пришлось толковать съ нимъ о книгахъ закона цѣлые полчаса. Повидимому, купецъ, успокоился, но былъ все-таки недоволенъ такимъ длиннымъ, по его мнѣнію, срокомъ.

— Эта статья составлена, какъ надо полагать, вотъ почему: началъ я убѣждать купца—вдругъ бы судъ рѣшилъ взыскать съ васъ деньги въ мою или чью-нибудь пользу...

— Ну, это еще сорока на двое сказала,—перебилъ купецъ недовольно.

— Позвольте; я говорю только къ примѣру...

— Никакихъ мнѣ не надо примѣровъ... И купецъ всталъ, махнувъ сильно рукою.

— Ну, не то прощай!.. Такъ черезъ два мѣсяца, говоришь?

— Я вамъ читалъ статью закона. Сегодня же я пошлю вашему должнику повѣстку, онъ ее получитъ завтра; такъ съ завтрашняго числа вы и считайте два мѣсяца. Я и вамъ пошлю повѣстку.

— И лучше не посылай—изорву!

— Это какъ вамъ угодно.

— А ты, парень, не серчай... Вонъ въ окружномъ-то тоже... больно ужъ вы занозливы! кабы попробовали въ лапоткахъ въ Питеръ-отъ прійти... Извини, другъ. Старъ я, глупъ; гдѣ ужъ мнѣ! А вотъ что я тебя попрошу: приходи въ гостиницу тамъ, что противъ рядовъ, чайку помалости отопьемъ.

Я сталъ отговариваться.

— Ну, полно!.. Мной и какіе люди не брезгуютъ: свистну—бѣгутъ! Приходи... покалякаемъ.

Такъ какъ у меня была одна повѣстка, которую я могъ вручить въ теченіе часа, то и обѣщался прійти въ гостиницу черезъ часъ.

— Ну, вотъ и спасибо... А ты прости ради Христа. Можетъ и оскорбилъ... А человѣкъ я, право, хорошій, нужды нѣтъ, что мужикъ... Счастливо оставаться,такъ не обманешь?—говорилъ купецъ,крѣпко сжимая мою правую руку.

Я далъ обѣщаніе и часа черезъ полтора пришелъ въ гостиницу, Купецъ, сидя со своимъ товарищемъ за столомъ, у окна, пилъ чай. Увидѣвъ меня, онъ весело закричалъ:

— Ну вотъ! не обманулъ... Спасибо, другъ; садись; гостемъ будешь. Когда я подошелъ къ столу, онъ схватилъ мои руки и чмокнулъ губами мою лѣвую щеку.

Я сѣлъ. Купецъ сталъ требовать водки, винъ, закуски, но я сказалъ, что, кромѣ стакана чаю, ничего не буду пить. Купецъ удивился.

— Да ты, можетъ, боишься?.. О другъ! все знаю! вонъ сенатскіе писаря такъ какъ лупятъ!.. Да это что!

Я навелъ разговоръ на дѣло, но купецъ хвастался тѣмъ, что онъ изъ лапотниковъ сдѣлался богатымъ купцомъ, теперь вездѣ въ почетѣ, у него есть такіе благодѣтели, у которыхъ онъ ужъ и просить ничего не знаетъ, хвастался тѣмъ, что онъ какъ ни придетъ, въ уголовную ли палату или въ сенатъ, то непремѣнно у него опорожнится одинъ карманъ.

— Гляди!

И купецъ вытащилъ изъ одного кармана брюкъ толстую пачку ассигнацій.

— На всякій случай не мѣшаетъ... А прежде вотъ эдакой пачки не бывало... Бывало, еще далеко идешь—издалека шапки снимаютъ, да сюртуки застегиваютъ... И прекословить не смѣли!.. Прихожу бывало: что, молъ, Илюха, дѣло-то? Двигается, говоритъ. Ну, и даю ему сотенную; это, молъ, на смазку, чтобы скорѣе пошевеливалось.

— И однако шесть лѣтъ ѣхало ваше дѣло?—спросилъ я.

— То-то, вишь ты, сказывали, оно росло, все толще и толще становилось .. Ну, значитъ, и требовалось больше... А мнѣ денегъ не жаль, да и опять дать нужно, потому и самъ я пользуюсь.

Такъ мы проговорили около часу. Купецъ сказалъ, что онъ согласенъ хоть на полгода, говоря, что я человѣкъ, какъ видно, смирный. Потомъ вдругъ вытаскиваетъ изъ кармана пять десятирублевыхъ и даетъ мнѣ.

— На-ко, другъ, на чаекъ.

— Это за что?

— Это ради знакомства, а опосля еще.

Я не взялъ, всталъ и взялся за свою фуражку. Купецъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на меня.

— Да ты его что ли испугался?—спросилъ онъ меня и указалъ на товарища.—Это, братъ, правая рука моя—секлетарь... Бери! Все равно, кому-нибудь брошу.

— Это дѣло ваше и вы хорошо сдѣлаете, если подадите бѣдному человѣку, только никакъ не мнѣ.

Купецъ подозвалъ меня пальцемъ и спросилъ шопотомъ:

— Говори по сердцу: мало?

— Съ чего вы взяли, что я возьму? Мы люди не такіе, какъ вы о насъ думаете, сказалъ я съ негодованіемъ.

Купецъ со вздохомъ положилъ деньги въ карманъ и сказалъ:

— Ну, прости... не буду больше... Эхъ! времена, времена!!.

И онъ всталъ изъ-за стола и началъ собираться въ путь.

— Напрасно, другъ, напрасно не берешь!.. И

по писанію сказано: всякое даяніе да благо, всякъ даръ совершенъ... А ты мнѣ больно приправился... Ей Богу... Эхъ, времена!!. кряхтѣлъ онъ и нѣсколько разъ надѣвалъ на голову шляпу и скидывалъ ее, что-то обдумывая.

Такъ мы съ нимъ и разстались.

Очерки обозной жизни.

Нужно было ѣхать изъ Екатеринбурга въ Пермь, а денегъ у меня было только восемь рублей. Въ Екатеринбургъ я ѣхалъ съ чиновникомъ на земскихъ и обывательскихъ и заплатилъ ему только четыре рубля, такъ какъ онъ платилъ прогоны только тамъ, гдѣ нѣтъ ни земскихъ ни обывательскихъ лошадей. Теперь мнѣ такого случая не представлялось, потому что въ городѣ или въ земскомъ судѣ у меня знакомыхъ не было. Въ это время сибирское купечество, такъ сказать, валомъ валило въ Нижній на ярмарку, и мнѣ посовѣтовали сходить въ контору вольныхъ почтъ для того, чтобы найти попутчиковъ или не согласится ли кто взять меня ради компаніи пополамъ, или какъ тамъ придется. Прихожу въ контору вечеромъ; никого нѣтъ. Немного погодя вышелъ писарь.

— Позвольте васъ спросить: нѣтъ ли у васъ попутчиковъ?—спросилъ я.

— А вы кто такіе?

Я назвался губернскимъ чиновникомъ; онъ посмотрѣлъ въ книгу и сказалъ, что никого нѣтъ, а если мнѣ будетъ угодно, то онъ меня запишетъ. Я согласился.

— А сколько стоитъ до Перми на парѣ?— спросилъ я изъ любопытства.

— Въ нашемъ экипажѣ двадцать четыре рубля, а если у васъ свой есть, то и дешевле.

Я вышелъ и думалъ: вотъ если бы желѣзную дорогу построили, такъ сбавили бы имъ спѣси; отъ Петербурга до Перми болѣе двухъ тысячъ верстъ, и я издержалъ съ пищей. водкой и извозчиками всего двадцать три рубля, а здѣсь, за триста шестьдесятъ верстъ, просятъ только за провозъ 24 р., да еще ямщикамъ нужно давать. На улицѣ жарко, душно. Горожане ждутъ грозы и граду. Передъ конторой вольныхъ почтъ, на улицѣ, стоятъ двѣ повозки. Повозки эти старинныя, сибирскія, пространныя. Въ одной, покрытой кожанымъ фартукомъ, почиваютъ на пуховикѣ два купца, съ красными, точно разбухшими отъ жары, лицами. Въ другой повозкѣ, съ откинутой накладкой, лежитъ куча подушекъ и разныхъ величинъ узлы. Къ обѣимъ повозкамъ ямщики запрягали лошадей, ругая ихъ какъ только можно.

— Просто каторга это время! ни часу нѣтъ роздыху... Жара...

— И на водку, что есть, мало даютъ, чтобъ ничъ провалиться...

Я подошелъ къ ямщикамъ и спросилъ — нѣтъ ли такихъ ямщиковъ, которые бы увезли меня на обратныхъ? Я думалъ, что ямщикъ, возвращаясь домой съ лошадьми, возьметъ съ меня копеекъ двадцать.

— А ты изъ кутейниковъ, что ли?

— Нѣтъ.

— Разсказывай: по облику видно... Вонъ тамъ во дворѣ спроси.

Во дворѣ суетня. Ямщики перебѣгаютъ отъ лошадей къ телѣгамъ и повозкамъ; въ двѣ повозки два человѣка, одѣтые въ сюртуки, укладываютъ подушки, чемоданчики, сакъ-вояжи. Нашелъ ямщика, онъ запросилъ три рубля. Я сказалъ, что дорого, ямщикъ сталъ издѣваться надо мной.

— Ты бы попутчиковъ искалъ,—сказалъ мнѣ другой ямщикъ, сидѣвшій на крылечкѣ.

— То-то что нѣтъ.

— Нынѣ купцы—одно слово, что жиды: почитай, со своей братьей ѣздятъ, а со стороны не берутъ, потому боятся—денегъ у нихъ пропасть! Да имъ не жалко денегъ,—объяснялъ мнѣ ямщикъ. А потомъ помолчавъ, опять началъ:—одново разу при мнѣ камедь была. Ѣхалъ, знаешь ты, купецъ, богачъ, одно слово. Вотъ и подвернись какой-то кутейникъ, и пошелъ этотъ кутейникъ къ купцу проситься сообща ѣхать, а купецъ ѣхалъ одинъ съ приказчикомъ. Приходитъ этотъ кутейникъ въ горницу, купецъ лежитъ на диванѣ въ рубахѣ— отъ жары просто не въ моготу ему было... Ну, тотъ и говоритъ, такъ и такъ... Кто ты, говоритъ, такой? — Тотъ сказалъ. — А я, говоритъ купецъ, не люблю товарищей, а тебя, говоритъ, возьму, коли, говоритъ, ты сейчасъ десять разъ перекувырнешься, позабавишь мою милость, а коли не перекувырнешься—въ полицію представлю и владыкѣ твоему лично донесу, что ты меня на большой дорогѣ безпокоить изволишь... Ну, что жъ бы ты думалъ? — парень и давай перекувыркиваться — смѣхъ! да только не въ моготу должно быть... на пятомъ разѣ остановился:—не могу, говоритъ, сердечный. А потъ такъ и льетъ... Купецъ хохочетъ... Что жъ ты, говоритъ, на самомъ забавномъ мѣстѣ остановился? Валяй. – Не могу!!— вопитъ кутейникъ... — И я, говоритъ купецъ, не могу везти. Ну, и прогналъ... А тотъ такъ-таки съ обозомъ и уѣхалъ.

Послѣ такого разговора я рѣшилъ ѣхать съ обозомъ; что нужды, думалъ я, что проѣду недѣлю, зато сколько удовольствія будетъ для меня въ этомъ тихомъ путешествіи, а какъ заставятъ кувыркаться—обидно... Цѣлые два дня проходилъ я безъ толку, потому что, не зная, гдѣ останавливаются тѣ ямщики, которые ѣдутъ въ Пермь, я все натыкался на такихъ, которые ѣхали въ Тюмень. Наконецъ, мнѣ сказали, куда итти. Напротивъ полукаменнаго дома стояло до десятка пустыхъ телѣгъ на улицѣ; на землѣ подъ телѣгами и немного подальше колесъ бѣгали курицы и клевали въ трухѣ овесъ, который вѣроятно сыпался изъ кошелей, когда ихъ убирали изъ телѣгъ; тутъ же тощая коровенка, махая отъ жары хвостомъ, что есть мочи засовывала подъ одну телѣгу свою голову, стараясь достать клочекъ сѣна. Ворота заперты. Я вошелъ во дворъ. Слѣва—новый полу-

каменный домъ, а справа—одноэтажный деревянный, уже старый; потомъ тянется длинный дворъ, по обѣимъ сторонамъ котораго навѣсы, а подъ навѣсами стоятъ телѣги и лошади, достающія изъ кошелей сѣно; четыре лошади лежатъ. Недалеко отъ крылечка дома, по правую руку, пятилѣтній мальчуганъ, въ ситцевой розовой рубахѣ и съ бѣлыми волосами, старается сѣсть верхомъ на большую черную собаку, только та не дается и, когда мальчуганъ потащитъ ее за хвостъ, она визжитъ.

— Мальчикъ! — окликнулъ я мальчугана, но онъ, поглядѣвъ на меня, еще пуще сталъ тормошить собаку; та, наконецъ, укусила ему руку, убѣжала, а мальчикъ заплакалъ и пошелъ на крыльцо.

Я подошелъ къ одной телѣгѣ: въ ней лежитъ желѣзное ведро, веревка, зипунъ. Въ другой телѣгѣ спитъ на животѣ мужчина, въ синей изгребной рубахѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, босикомъ.

— Чего тебѣ? — вдругъ услыхалъ я женскій голосъ.

Я обернулся. Изъ окна дома, направо отъ воротъ, глядѣла на меня старушка. Я подошелъ къ окну. Она хотя и выглядывала старушкой, но казалась бодрой и въ голосѣ ея не слышалось ничего болѣзненнаго.

— Кого тебѣ?—спросила она меня снова.

— Тетушка, здѣсь какіе ямщики?

— На что тебѣ?

— Мнѣ въ Пермь хотѣлось бы нанять.

— Здѣсь такихъ нѣтъ: здѣсь съ кладью поѣдутъ въ Пермь.

— А скоро?

— Завтра, надо быть.

— А берутъ они ѣздоковъ?

— Заходи ужо. Теперь спятъ.—И она заперла окно.

Вечеромъ, часовъ въ семь, я пришелъ опять на этотъ постоялый дворъ. Шесть ямщиковъ, въ синихъ изгребныхъ и голубыхъ ситцевыхъ рубахахъ, въ шляпахъ, на подобіе горшковъ, и въ фуражкахъ, мужчины здоровые, краснощекіе, собравшись въ кучу, о чемъ-то толковали. При моемъ входѣ они, продолжая разговаривать, стали смотрѣть на меня. Я подошелъ къ нимъ, снялъ фуражку; двое тоже сняли; говорить перестали.

— Вы не въ Пермь ли?

— Въ Пермь, а что?

— Да мнѣ тоже бы туда надо.

— Мы ни примамъ нони, потому съ кладью.

— Да я ничего...

— А ты видно изъ духовныхъ?.. Ишь нони стекла проявили на носу носить. Это отъ моды, что ли?— спрашивалъ одинъ.

— Такъ ты говоришь—въ Пермь?.. А что у те много клади?—спросилъ другой ямщикъ, съ плутоватыми глазами, привлекательнымъ лицомъ, съ курчавыми волосами, небольшой черной бородой, человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ.

— У меня только узелокъ.

Ямщикъ оглядѣлъ меня съ ногъ до головы и вступилъ въ разговоръ съ товарищами.

— Нѣтъ, пятнадцать, ребята, дорогонько... Кабы десять.

— То-то. Ужъ рядился, рядился...

— Разѣ мнѣ сходить, а?

— Какъ хошь. Ну, а ты, Верещагинъ, что? ряди.

— Не знаю...—сказалъ тотъ ямщикъ, который спрашивалъ меня о вещахъ, и почесалъ голову обѣими руками, положивъ шляпу въ телѣгу.

— Ну, а ты сколько бы далъ?—спросилъ меня другой ямщикъ.

— Какъ вы? Я думаю, придется пѣшкомъ итти больше.

— Это обнаковенно: устанешь—присядешь; ну, и заснуть можно.

— Такъ сколько бы вы взяли?

— Да мы что! вонъ его проси... Верещагинъ! ряди...

Верещагинъ отошелъ отъ ямщиковъ, пошелъ медленно къ воротамъ, почесывая голову и спину, что-то шепталъ, смотря въ полъ. Я шелъ за нимъ.

— Тàкъ кàкъ, дядя?

— Да пять рублей бы? — спросилъ онъ меня негромко и хитро посмотрѣлъ на меня.

— Много. Я бы три далъ. Самъ подумай: я вѣшу немного, да и не всегда буду сидѣть. Опять тоже дождь...

— На счетъ дождя не сумлѣвайся: рогозкой прикрою.

— Верещагинъ! иди въ баню,—кликнули ямщики.

Верещагинъ не говорилъ ни да, ни нѣтъ; я молчалъ, онъ тоже молчалъ и, повидимому, тяготился мной, но отойти отъ меня ему тоже должно быть не хотѣлось.

Наконецъ, мы разошлись. На другой день таже исторія; только вечеромъ онъ согласился, по совѣту другихъ ямщиковъ, взять меня за три рубля. Онъ мнѣ далъ денегъ полтину.

— Это на что?—спросилъ я.

— Ужъ заведеніе такое, потому это задатокъ, что я тебя не обману.

Однако денегъ я не взялъ; онъ ради знакомства позвалъ меня въ питейную лавочку и угостилъ на свой счетъ осьмушкой водки, сказалъ, что его зовутъ Семеномъ Васильичемъ, спросилъ мое имя, велѣлъ приходить завтра въ девять часовъ, и мы разстались, пожавъ другъ другу руки, — первый протянулъ онъ.

Идя домой, я раздумался о здѣшней простотѣ крестьянъ и удивлялся: неужели ихъ не учили такіе господа, какъ мазурики? Вѣдь въ подобномъ случаѣ мазурику очень легко выманить у ямщика полтинникъ. Однако, здѣсь уже такъ заведено, что вмѣсто жестянокъ ямщики даютъ деньги.

Въ десять часовъ я уже былъ на постояломъ дворѣ, но тамъ не было ни ямщиковъ ни телѣгъ. Я испугался. Пошелъ въ полукаменный домъ. Кухня большая съ большимъ столомъ въ переднемъ углу. Въ ней душно, жарко, два окна почти что залѣплены мухами, по столу и лавкѣ бродятъ табуны мухъ. Но хотя я сперва и назвалъ это помѣщеніе кухней, однако это вовсе не кухня, а комната, потому-что

направо двери въ кухню съ печью, а изъ кухни— въ хозяйскія комнаты. Въ кухнѣ около печи суетилась высокая, толстая, годовъ сорока пяти женщина; въ комнатѣ пили чай молодая женщина недурной наружности и двое дѣтей: мальчикъ, котораго я видѣлъ вчера во дворѣ, и дѣвочка лѣтъ восьми.

Не глядя на меня, хозяйка сказала, что ямщики поѣхали за кладью и къ обѣду, вѣроятно, пріѣдутъ. Хотѣлъ я спросить ее — могу ли я посидѣть въ комнатѣ, но она была слишкомъ занята своимъ дѣломъ и меня никогда отъ роду не видала. Однако я присѣлъ на лавку у окна. Скучно. Не знаю сколько я просидѣлъ, только хозяйка, спасибо ей, крикнула:

— Чего ты разсѣлся, разстрига? Что у насъ развѣ для всякаго проходящаго постоялый-то устроенъ?

Я растерялся и не зналъ, что сказать ей въ свое оправданье.

— Пошелъ, пока бока не наломали!

Я посмотрѣлъ на нее, вижу, женщина пожалуй втрое мясистѣе и сильнѣе меня, отвозитъ кулаками такъ, что въ другой разъ совѣстно будетъ и показаться сюда.

Пошелъ бродить по рынку, зашелъ въ трактиръ, но дѣлать въ немъ мнѣ было нечего: коли пришелъ, то, стало-быть, нужно водку пить, кушанье брать, а я ни того ни другого не хотѣлъ, да и на дворѣ такъ жарко, что готовъ бы, кажется, весь день въ водѣ пробыть. Но ужъ если я зашелъ въ трактиръ, то долженъ непремѣнно хоть рюмку водки выпить, а то сочтутъ меня, Богъ знаетъ, за какого человѣка. Дѣлать нечего, выпилъ рюмку; водка оказалась мерзѣйшая и стоитъ пятакъ. Спросилъ газету,— нѣтъ. Служители глядятъ на меня подозрительно; прошлась какая-то женщина сомнительнаго поведенія. А народу въ трактирѣ нѣтъ, должно быть, рано, да Ильинъ день.

Постоялый дворъ былъ уже запруженъ возами и пустыми телѣгами; лошади распряжены и ѣли кормъ. Въ полукаменномъ домѣ говоръ. Вышелъ изъ него одинъ ямщикъ, и отъ него я узналъ, что Верещагинъ и его товарищи пьютъ чай, и что они послѣ обѣда поѣдутъ. Я присѣлъ на крылечко и отъ нечего дѣлать сталъ наблюдать за лошадьми,— этими работниками на большомъ сибирскомъ трактѣ. Недалеко отъ меня стояли между двухъ телѣгъ двѣ лошади бурой шерсти, лошади здоровыя и крѣпкія. Одна изъ нихъ, съ сивою гривой, повидимому, уже наѣлась, но все-таки ѣла, только ужъ такъ лѣниво, что ее можно было сравнить съ екатеринбургской мѣщаночкой, сидящей вечеркомъ за воротами и балующей себя кедровыми орѣхами; другая лошадь, съ чернымъ хвостомъ, лизала гриву этой лошади, причемъ сивогривая лошадь очень благосклонно взглядывала на чернохвостую. Кончила ѣсть сивогривая, уперла морду внизъ, чернохвостая еще усерднѣе стала лизать ея лобъ и спину, потомъ вдругъ подошла къ кошелю и стала доставать изъ него сѣно, но сѣна тамъ не было. Все-таки она продолжала жевать, изрѣдка вытаскивая изъ кошеля морду, а сивогривая лошадь стала лизать гриву этой чернохвостой подруги. Та хотѣла лечь, но лечь некуда. Я думалъ, что эти любезности исключеніе, но замѣтилъ въ другомъ мѣстѣ то же, только тамъ двѣ лошади лизали одну. При этомъ мнѣ представилось то, какъ за барскими лошадьми ухаживаютъ кучера, моя и чистя ихъ, а такъ какъ крестьянскихъ лошадей хозяева не чистятъ щетками, то онѣ сами заботятся о себѣ. Подъ телѣгами и между ногъ лошадей сновали въ разныхъ мѣстахъ курицы и пѣтухи, нисколько не думая о томъ, что ихъ могутъ раздавить; изъ нихъ были даже такіе, которые взлетали въ телѣгу и храбро клевали овесъ.

— А, будь ты за-болотцомъ! здорово Петръ Митричъ! — проговорилъ знакомый голосъ.

Я обернулся. Верещагинъ въ чистой, вчера надѣтой рубахѣ, безъ шапки, стоялъ недалеко отъ меня и утиралъ раскраснѣвшееся отъ горячей воды лицо рукавомъ. Я подошелъ къ нему, мы поздоровались: онъ крѣпко стиснулъ мою ладонь.

— Почемъ кладь-то взялъ?

— Да дешево, ну, да!.. шестьдесятъ двѣ копейки съ пуда... А корма-то нонѣ, не приведи Богъ, какъ дороги... — И онъ пошелъ къ своимъ лошадямъ, которыя у него стояли почти назади двора.

Стали выползать изъ дому и другіе ямщики. Всѣ они были въ поту, такъ что плечи рубахъ были мокрыя; говорили всѣ весело, бойко; два молодыхъ извозчика,— по мѣстному парни,— годовъ восемнадцати, острили надъ пожилыми извозчиками, которые на ихъ остроты сами отвѣчали или желаніемъ отколотить парней, или обругивали. Всѣ ямщики разсыпались по всему двору. Немного погодя пять извозчиковъ присѣли на крылечко и, не обращая на меня вниманія, о чемъ-то весело стали продолжать прежде начатый разговоръ и хохотали.

— Это что?.. А вотъ Яшка-то Крюковъ!? Ахъ, будь онъ проклятъ, чтобъ ему ни дна ни покрышки.

— Да, да... Вѣдь цѣлую бочку вызудилъ, чтобъ ему лопнуть!

— Какъ такъ?

— Да ты не слыхалъ что ли? Камедь какая, братецъ ты мой!.. первый сортъ. Это повезли они съ Иваномъ Кирьяновымъ вино. Ну, ладно. А Крюковъ и давай лакать...

— Вино-то?

— Ну. Да какъ: нужно трогаться, а онъ спитъ тамъ у телѣги и плевать на все, говоритъ: хоть убейте его, такъ въ ту же пору. Ну, знамо дѣло, не бросать же его: у него тоже двѣ лошади: свалили... А какъ проснулся—стали его ѣсть, а онъ, гляди, опять пьянъ... На другой день опять... Просто сдивовались всѣ! Ну, и стали примѣчать: потому въ кабакъ не ходитъ ровно, а только что-то ужъ часто ведро полощетъ въ рѣченкахъ, да воду пьетъ и съ воды пьянъ дѣлается. Только Степанъ Макушевъ и примѣтилъ, что-де Яшка около своей бочки подпрыгиваетъ, да ведро подсовываетъ на ходу, ну и словилъ. Это онъ, знаешь, дыру просверлилъ въ бочкѣ, да и заляпалъ тѣстомъ. Ну, Степанъ-то промолчалъ сперва, а какъ къ рѣкѣ подъѣхали да пошли за водой, и Яшка съ ведромъ, пошатываетъ его, таку-бѣду!.. Только Степанъ и говоритъ ребятамъ: а что-то Яшка-то у насъ нонѣ ужъ черезчуръ лошадей-то поитъ, у него пошто-

то и телѣга-то вино пьетъ?.. Кабы намъ, братцы, въ убыткѣ не быть?.. Ну, значитъ, острамилъ, что называется, на всѣхъ, а Яшка и говоритъ: бочку доливаю, потому—текетъ очинно. Иванъ Кирьяновъ очинно осерчалъ, да мы общимъ сговоромъ рѣшили не показывать эту бочку, а сказать, что она разбилась; ужъ лучше всѣмъ испробовать заморскаго вина—какъ оно есть... Ну, а Яшку въ лѣсу знатно выстегали... И не поморщился, будь онъ проклятъ...

Въ продолженіе этого разсказа слушатели и разсказчикъ хохотали.

— Что жъ, убытку-то много?

— Сѣло таки: рубля два только и пришлось получить при разсчетѣ. А Яшку отъ себя прогнали. Въ Тюмень, сказываютъ, съ Безобразовымъ кожи повезъ.

— А со Степкой Мокроносовымъ-то какая оказія вышла, слышали?

— Бочка съ Суксуна улетѣла.

— Да... И чортъ ее угораздилъ слетѣть. Горато, е! страсть какъ крута... Бочка только подпрыгиватъ... Щепка-щепкой... Страсти...

— Не приведи Богъ... Ужъ эта гора сидитъ намъ, Христосъ съ ней.

Пришелъ Верещагинъ и спросилъ меня, обѣдалъ ли я. Мнѣ очень хотѣлось ѣсть, но я не зналъ, куда итти, да и боялся, что ямщики меня не станутъ дожидаться.

— Пойдемъ въ избу.

— Неловко какъ-то, народу много. Еще помѣшаю; да и хозяйкѣ я не понравился.

— А, будь ты за-болотцомъ! Подемъ.

Во дворѣ, кромѣ Верещагина, ямщиковъ не было. Я пошелъ.

Въ комнатѣ за большимъ столомъ сидѣло человѣкъ пятнадцать ямщиковъ. Они хлебали щи, запивая водкой. Всѣ или говорили или хохотали, или ругались.

— Хозяюшка, можно мнѣ пообѣдать? Я заплачу,—спросилъ я хозяйку.

— Вотъ выдумалъ! У меня нѣтъ для тебя ничего.

— Да мнѣ бы щей.

Хозяйка промолчала. Я сѣлъ на лавку. Короваи хлѣба скоро исчезали одинъ за другимъ; хозяйка то-и-дѣло наливала въ деревянныя чашки щи; ямщики то-и-дѣло просили хозяйку прибавить щецъ и говядинки. Я закурилъ папироску. Надъ Верещагинымъ острили, онъ хихикалъ въ руку и говорилъ только: «а будь ты за-болотцомъ», но потомъ его чѣмъ-то попрекнули, заговорили всѣ противъ него, онъ только говорилъ обиженнымъ голосомъ: «развѣ я виноватъ! Бога бы вы побоялись обижать бѣднаго человѣка».

— Вотъ ужъ! ты всегда больше другихъ клади накладываешь.

— Зато у меня лошади не вамъ чета.

— А вотъ мы попробуемъ въ переднія пустить.

— Эй ты, долговязая бестія! Пошелъ отселева!—крикнулъ на меня одинъ здоровый ямщикъ съ черными волосами.

Я не трогался, потому-что не зналъ, за что я не понравился ямщику.

— Тебѣ говорятъ, стеклянные шары. Ты слѣпъ что ли, что мы ѣдимъ, а ты тутъ съ твоимъ проклятымъ табачищемъ...

— Да ты поди, коли тебѣ говорятъ, до грѣха.. будь ты за-болотцомъ — обратился ко мнѣ сочувственно Верещагинъ: — не ровенъ часъ — ребята изобьютъ.

Опять я сѣлъ на крылечко и думалъ о томъ, что я глупо сдѣлалъ, что сталъ курить табакъ тогда, когда ямщики обѣдаютъ. Я еще не зналъ обозной жизни, и мнѣ сдѣлалось совѣстно. Возражать тутъ нельзя: изобьютъ такъ, что и никогда не выѣдешь изъ Екатеринбурга.

Изъ избы вышелъ высокій пьяный ямщикъ, онъ то-и-дѣло натыкался на что-нибудь и, доползши до меня, грохнулся ко мнѣ и взялъ правой рукой за мои волосы.

— Ты меня знашь!! Я—Иванъ Пантелеичъ. Да! я вò какъ орудую!... — И онъ потянулъ руку съ моими волосами такъ, что я чуть не вскрикнулъ. Вдругъ онъ обнялъ меня и давай цѣловать.

— Ты мнѣ понравился... Ты!! А ты скажи, подлецъ я али нѣтъ?.. У меня деньги отняли, спрятали... А я гуляю... во!! Я исправенъ. Исправенъ я али нѣтъ?

— Исправенъ.

— Исправенъ!.. А они деньги зачѣмъ взяли, подлецы? Ты это скажи... Ты грамотной?

— Грамотный.

— Ну!—и онъ плюнулъ такъ, что свалился на землю.

Въ это время стали выходить изъ комнаты ямщики, тяжело отпыхивая и завязывая пониже животовъ пояски. Стали они смѣяться надъ пьянымъ ямщикомъ, тащили его спать, но онъ барахтался такъ, что съ нимъ ничего не могли сдѣлать.

Я пошелъ опять въ комнату для того, чтобы попросить ѣсть. Тамъ, сидя въ переднемъ углу, толстый, лысый ямщикъ, въ ситцевой розовой рубашкѣ, отсчитывалъ бумажки и отдавалъ ихъ ямщикамъ. Это значило, что ямщики получали деньги, но зато ли, что они подрядились везти кладь, или зато, что привезли и сдали кладь, — я не зналъ. Хозяйка сказала, что для меня не приготовлено кушаньевъ, и вдругъ, когда я пошелъ изъ комнаты, она сказала:

— Эй ты, долговолосый кутехлебъ! Щи остались: коли хошь, за полтинникъ накормлю.

— Нѣтъ, этакъ дорогонько.

— Видно, что христарадникъ! О-охъ, чтобъ васъ... Ямщики поили изъ ведеръ лошадей, потомъ одни изъ нихъ запрягли лошадей, а другіе отчасти легли спать въ пустыя телѣги, отчасти разбрелись.

Скучно было ужасно. Ямщики то переминаясь разговаривали другъ съ другомъ, то выходили зачѣмъ-то за ворота и, постоявъ тамъ, возвращались обратно во дворъ, то куда-то уходили и долго не возвращались. Я чуть было не потерялъ терпѣнія и хотѣлъ совсѣмъ итти на квартиру, но Ве-

рещагинъ подошелъ ко мнѣ и, какъ видно, что-то хотѣлъ сказать, но молчалъ.

— Скоро ли тронемся-то?

— Совсѣмъ готово... А жара-то какая, Пресвята Богородица!

— Непріятна она, я думаю, вамъ?

— Зима лучше, только тогда лапоть носится, а теперь ходи хоть нагишомъ. Жарко! — И онъ заговорилъ съ подошедшимъ ямщикомъ о какихъ-то бичевкахъ.

— Я было хотѣлъ попросить тебя... Одолжи рубликъ,—проговорилъ онъ мнѣ нерѣшительно.

Я далъ, и попросилъ его выпить водочки.

— Покорно благодарны, Петръ Митричъ.

— А что?

— Да вишь! и такъ сопрѣлъ... Ужо на ночь... Ночевать-то мы нони не будемъ.

Наконецъ, часу въ седьмомъ ямщики засуетились. Кто почему-нибудь не успѣлъ смазать колеса, теперь смазывалъ на скорую руку. Вывели одну лошадь съ возомъ, за ней другую, третью,— это выведеніе продолжалось четверть часа, потому что ямщики мѣшкали, а по дорогѣ шелъ къ другому постоялому двору длинный обозъ, возовъ въ тридцать. Вторая лошадь была привязана за задокъ первой телѣги, третья за задокъ второй, четвертая за задокъ третьей телѣги, пятая лошадь не была привязана, зато послѣ нея двѣ лошади были привязаны. Выползъ нашъ обозъ, но не весь — только двѣнадцать возовъ, а во дворѣ ихъ было еще много. Хозяева переднихъ лошадей, выведенныхъ на улицу, стояли впереди обоза и понукали остальныхъ ямщиковъ. Наконецъ, выползъ и Верещагинъ на улицу, держа за поводья лошадь; къ задку телѣги привязана лошадь, а за другую телѣгу тоже привязана лошадь. Верещагинъ крестился и говорилъ: «Господи благослови!».

— Петръ Митричъ, садись благословясь.

— Куда?—спросилъ я.

— А вотъ, — и онъ указалъ мнѣ на передокъ второй телѣги. Мѣста передъ возомъ, т.-е. кладью, покрытою крѣпко-на-крѣпко цыновками, было столько, что сидѣть можно свѣсивши ноги, а спать можно было скорчившись поперегъ дороги и телѣги. Я не сѣлъ и отговорился тѣмъ, что еще успѣю устать.

Нашъ обозъ, состоявшій изъ тридцати двухъ лошадей, тащившихъ тридцать два воза съ саломъ, свѣчами и стекломъ, шагомъ подвигался впередъ по улицѣ и занималъ пространство на протяженіи по крайней мѣрѣ саженъ полутораста. Вотъ первая лошадь повернула, и мало-по-малу мы были уже на тракту. Ямщики идутъ вразсыпную по дорогѣ, лошади идутъ ровно тихимъ человѣчьимъ шагомъ и не останавливаются, вѣтерокъ поднимаетъ впереди пыль, по дорогѣ то-и-дѣло впередъ и обратно ѣдутъ проѣзжающіе на тройкахъ, на двухъ лошадяхъ, ѣдутъ городскіе жители въ телѣгахъ и пролеткахъ, мастеровые верхомъ. Воздухъ сперся отъ жары и пыли, а наши лошади еще болѣе поднимаютъ ее съ дороги, и эта пыль въ четверть часа успѣла покрыть уже наши сапоги, фуражки и шляпы.

Я торжествовалъ: во-первыхъ, радовался, что наконецъ-то тронулся въ путь и черезъ шесть дней непремѣнно буду въ Перми; во-вторыхъ, я, не ходившій никогда по сотнямъ верстъ, могъ теперь испробовать себя. Городскіе жители, ѣдущіе и глядящіе изъ оконъ на обозъ не изъ любопытства, а ради развлеченія, удивленно смотрятъ на меня и, вѣроятно, думаютъ: «бѣдный семинаристъ поѣхалъ объ мѣстѣ хлопотать». Я оборачиваюсь нѣсколько разъ, съ радостью гляжу на большой пестрѣющій городъ, и мнѣ то улыбнуться хочется, то вдругъ дѣлается скучно, и Богъ знаетъ, о чемъ и о комъ...

— Петръ Митричъ, ты ѣлъ ли?

— Ѣлъ,—солгалъ я. А во рту у меня сохло отъ трубки. Хотѣлось больше всего пить.

— Не выпить ли на дорожку-то? — спросилъ меня Верещагинъ.

— Пожалуй.

Зашли—выпили по стаканчику; водка известкой отзываетъ; купилъ на двадцать коп. десять сухихъ крендельковъ, попотчевалъ Верещагина, самъ сталъ ѣсть — горло сохнетъ, въ горло пыль лѣзетъ. Прошло полчаса, вдругъ я взглянулъ впередъ — ямщиковъ нѣтъ, назадъ — тоже. Неужели, подумалъ я, у ямщиковъ такое заведеніе, что они заходятъ по выѣздѣ изъ города выпить на дорожку? Но выпивающимъ-то оказался только я, какъ я узналъ послѣ, потому-что всѣ ямщики, въ томъ числѣ и Верещагинъ, уже крѣпко спали, кто на возахъ, кто на телѣгахъ. Для образчика я приведу двѣ картины. Идетъ обозъ на протяженіи полутораста саженъ; лошади большею частью привязаны къ телѣгамъ; тѣ, которыя не привязаны, идутъ на шагъ отставши, но не сворачиваютъ съ линіи направо или налѣво, — однимъ словомъ, имѣютъ видъ цѣпи, такъ-что если бы случилось сдвинуть съ дороги средній возъ въ сторону, то нужно начать движеніе съ передняго воза. Лошадямъ жарко; онѣ или взмахиваютъ хвостами, головами, или стараются, во что бы то ни стало, достать изъ телѣги сѣно или желѣзное ведро, чтобы облизать его. Передней лошади предоставлено право глядѣть во всѣ стороны, остальнымъ же только— въ желѣзныя ведра и мѣшки съ сѣномъ, изъ которыхъ, впрочемъ, весьма трудно достать хоть клочекъ сѣна, а по сторонамъ лошадямъ ничего не видно. Если же передняя лошадь остановится, тогда остальныя лошади, стукнувшись лбами объ возъ, останавливаются и начинаютъ неистово тормошить мѣшокъ съ сѣномъ. Поверхъ второго воза, на животѣ лежитъ ящикъ, такъ что ноги болтаются, а голова лежитъ въ шляпѣ, руки засунуты подъ цыновку, обѣ ладони, сходясь съ двухъ сторонъ, на подобіе обхвата, находятся какъ разъ подъ горломъ, цыновка же, крѣпко привязанная толстой веревкой, ни по какому случаю не сорвется. Такимъ же точно образомъ лежалъ другой ящикъ въ телѣгѣ на передкѣ, и такъ какъ доски на передкѣ не было, то голова и туловище его лежали въ телѣгѣ, а ноги болтались на ея краѣ. Верещагинъ

лежалъ тоже на своемъ первомъ возу, но я еще и садиться не пробовалъ на его вторую телѣгу.

Проѣхали острогъ, началось кладбище; на кладбищѣ гулянье. Мужчины и женщины ходятъ или попарно, или по нѣскольку человѣкъ; группы въ разнообразныхъ костюмахъ сидятъ въ разныхъ мѣстахъ на могилкахъ, курятъ папиросы, сигары, разговариваютъ, хохочутъ, напѣваютъ веселыя пѣсни. Я подошелъ ближе къ рѣшеткѣ кладбища и по мѣрѣ того, какъ я шелъ, я замѣчалъ разныя картины: въ одномъ мѣстѣ играли въ карты, въ другомъ — двое мужчинъ потчевали молодую женщину водкой, въ третьемъ цѣловались, вѣроятно клялись у могилъ въ вѣчной любви... Я слышалъ отъ горожанъ, что это кладбище теперь превратилось въ гулянье съ особенною цѣлью, только на немъ еще пока не танцуютъ.

Вотъ уже и лѣсъ по обѣимъ сторонамъ трактовой дороги, но этотъ лѣсъ стоитъ точно на-показъ начальству, потому-что сквозь него просвѣчиваютъ огромныя пространства пустыхъ мѣстъ. Ноги устали, петербургскіе сапоги съ каблуками, кажется, начинаютъ стаптываться; я сѣлъ въ назначенную мнѣ телѣгу--неудобно; сѣлъ я точно въ яму, но ногамъ въ этой ямѣ нѣтъ мѣста, нужно ихъ свѣсить къ лошади; я свѣсилъ — колѣни выше головы, трясетъ ужасно, спину отбиваютъ ящики, ноги отбиваетъ передокъ телѣги, хвостъ лошади задѣваетъ за сапоги съ каблуками. Кое-какъ я высвободился изъ ямы и сѣлъ поперекъ телѣги—удобно: ноги упираются въ телѣгу, подъ спиной узелокъ, только на бокъ лечь невозможно; спать хочется, да и лечь на животъ боюсь. Такъ я просидѣлъ немало; бока болятъ, ноги ноютъ, глядѣть рѣшительно не стоитъ— то тощее поле, то лѣсъ, да и глядишь въ одну сторону. Закурилъ трубку. Вдругъ подходитъ сзади Верещагинъ. Лицо у него въ пыли, грязное, ладони черныя.

— Ладно ли сидѣть-то?—спросилъ онъ меня.

— Не совсѣмъ.

Онъ взялъ мѣшочекъ, но безъ мѣшочка сдѣлалось еще хуже.

— Ты бы далъ мнѣ мѣшочекъ-то.

— О, будь ты за-болотцомъ!—и онъ кинулъ мѣшочекъ на передній возъ.

— А тебѣ ловко ли самому-то на возу?

— Ничего. Съ семнадцати лѣтъ въ обозахъ хожу, а теперь никакъ съ новаго года сорокъ первый пошелъ... Брюхо только что-то, Господь со мной, покалываетъ.

— Это оттого, что ты наѣлся-то ловко, да потомъ и легъ животомъ на возъ, а трясетъ-то знатно,—объяснилъ я.

— Не знаю... Не оттого это: прежъ не баливало же.

— А я вотъ что хочу тебя спросить, Семенъ Васильичъ: почто это у васъ однѣ лошади привязаны къ телѣгамъ, а другія нѣтъ?

— О, будь ты за-болотцомъ! и этого-то не знаешь: ужъ заведенье такое.

Въ это время у одной его лошади дуга развязалась, и онъ остановилъ свою переднюю лошадь; половина обоза пошла, оставивъ за собой другую половину, которая стояла. Я слѣзъ съ телѣги.

— Скорѣе копайся, вахлакъ!—кричалъ на Верещагина лежащій на возу ямщикъ.

— Ну-ну!... о, будь ты за-болотцомъ, козленокъ! Ишь вѣдь, все непорядки у тебя, соколикъ,— наговаривалъ лошади Верещагинъ; но лошадь только тяжело вздыхала, изрѣдка переминаясь съ ноги на ногу.

— Скоро ли?.. аль ночевать намъ здѣсь?—кричалъ ямщикъ сзади. Голосъ его далеко раздавался въ лѣсахъ.

Верещагинъ слегка свистнулъ передней лошади, и она пошла. Онъ сѣлъ на козлы и сталъ погонять ее витнемъ. Лошади пошли нѣсколько скорѣе прежняго, и черезъ четверть часа мы нагнали другую половину нашего обоза, которая поджидала насъ.

Стало темнѣть; свѣжо такъ, что меня въ легкомъ пальтишкѣ безъ подкладки стало пробирать, но зато теперь было не въ примѣръ лучше того времени, въ которое мы выѣхали изъ города: главное,—мнѣ казалось, что пыль не попадала въ ротъ, а садилась скоро опять на землю; дышалось свободнѣе. Я шелъ по мягкой травѣ, растущей около телеграфныхъ столбовъ и пѣлъ отъ избытка чувствъ во все горло, не обращая вниманія на часто проѣзжавшія тройки, съ закрытыми фартуками повозками.

Должно быть, было часовъ десять, а темно. Привлекательнаго ничего нѣтъ, вѣроятно потому, что я мимо этихъ мѣстъ проѣзжалъ не одинъ разъ, да и что привлекательнаго въ небольшихъ холмахъ, кустарникахъ березы, тощихъ поляхъ, покосахъ, на которыхъ разложены огоньки... Вотъ, наконецъ, попалось какое-то село. Проѣхали нѣсколько домовъ, въ окнахъ огня не видно, на трактовой улицѣ пусто, на одной телеграфной проволокѣ бичевочка болтается. Не спитъ только только одинъ кабакъ; я пошелъ въ него и позвалъ Верещагина, онъ пошелъ съ удовольствіемъ, сказавъ: «теперь къ ночи—холодно будетъ еще не такъ, особливо на этихъ горахъ».

— А ты будешь спать?—спросилъ я Верещагина.

— Нѣтъ. Ночью боязно. Хоть мѣсто и неопасное, да всеже. И пора-то хорошая: днемъ жара... Дождичка бы.

Въ кабакѣ сидѣла женщина. Выпили.

— А есть у те, тетушка, огурчики?—спросилъ я ее.

— Гдѣ бы я взяла?

— Не садите?

— Не родятся.

У нея я купилъ два яйца.

Опять пошли. Верещагинъ, похлопывая по травѣ витнемъ, напѣвалъ тоже, вѣрно, отъ избытка чувствъ: «милосердіе двери разверзи, благословенная Богородица Дѣва». Однако, скоро замолчалъ.

Съ часъ я шелъ съ Верещагинымъ. Это былъ человѣкъ неговорливый: онъ или насвистывалъ сквозь зубы, или что-то мурлыкалъ и на рѣдкіе мои вопросы отвѣчалъ. Отъ него я только и узналъ,

что онъ ямщичитъ двадцать лѣтъ; имѣетъ три лошади, остальныя лошади принадлежатъ другимъ ямщикамъ; что въ ихнемъ обозѣ теперь идетъ девять ямщиковъ; тѣ лошади, что идутъ на привязи, принадлежатъ ямщикамъ, и въ обозѣ есть начальникъ, Андрей Степанычъ Крюковъ, который ведетъ четыре лошади, но въ чемъ заключается его начальство,—онъ не объяснилъ. Девять ямщиковъ, одѣвшись въ свои зипуны, шли около телѣгъ молча. Переговаривались они неохотно и очень рѣдко.

Залѣзъ я въ телѣгу; прикрылся какъ можно плотнѣе пальтишкомъ, но отъ холода не могъ заснуть. Бока болѣли, ноги ныли, верхняя часть лба такъ чесалась, что не радъ былъ и житью. Припомнилось мнѣ о томъ, какъ я прежде въ дѣтствѣ ѣздилъ съ почтами, сидя на чемоданахъ. Я тогда то же испытывалъ, что̀ и теперь, сидя въ телѣгѣ, но зато не ходилъ и ѣхалъ очень скоро.

И все-таки я заснулъ. Проснулся. Холодно. Пальто открывать не хочется, но мнѣ кажется, что телѣга стоитъ. Да. Ее не взбалтываетъ на разные манеры, лошади стучатъ копытами, хрумкаютъ... Я открылъ пальто и взглянулъ: темно. Кое-какъ я увидалъ въ темнотѣ бревенчатую стѣну. Я всталъ, поглядѣлъ въ другую сторону и узналъ, что я на постояломъ дворѣ подъ навѣсомъ. Направо—высокое крыльцо, окно видно въ домѣ; солнце уже начинаетъ пробиваться въ верхній уголъ стекла. Ямщиковъ нѣтъ. Я пошелъ къ крыльцу, поднялся: большія сѣни, въ родѣ темной комнаты; налѣво, въ углу, большая кровать, на ней спитъ, кажется, женщина, около нея молодая, высокая, толстая женщина раздѣвается. Но она меня не замѣтила, и я вошелъ въ избу направо. Тамъ на скамьяхъ и на полатяхъ спали наши ямщики; старая, но высокая, толстая женщина, въ ситцевомъ сарафанѣ, босикомъ, щепала лучину.

— Богъ на помочь!—сказалъ я этой женщинѣ.

Она съ трудомъ выпрямилась, кашлянула и совсѣмъ охриплымъ голосомъ спросила:

— Ты съ ямщиками?

— Съ ямщиками. Можно лечь?

— Ложись.

Мнѣ хотѣлось спать, и я, не разбирая мѣста, свернулся на полу между лавкой и дверьми и тотчасъ заснулъ; но спалъ немного.

— Ишь, стерва, будь ты проклята! до коихъ поръ шаталась... Вставай!—говорила то настоящимъ, то охриплымъ толосомъ старая, толстая женщина.

На это ей никто не отвѣчалъ.

— Ахъ, какъ учну я те щипать, прокляненую!

— Мамонька... Я сичасъ.

Въ избу ввалилась старая, толстая женщина, тяжело ступая босыми ногами; она двигалась медленно и, если ей нужно было повернуть въ которую-нибудь сторону голову, она поворачивалась всѣмъ туловищемъ; если ей нужно было наклониться, то она кряхтѣла, лицо становилось краснымъ. Печка уже истопилась, и хозяйка садила въ нее хлѣбы. Вошла не торопясь ея дочь, та самая, которая недавно раздѣвалась; она куксила глаза и ежеминутно зѣвала, какъ бы стараясь убѣдить свою мать, что она не выспалась. Но матери было некогда: она торопилась, а въ это хлопотливое время она, вѣроятно, была очень раздражительна и забывала всѣ услуги своей дочери, такъ-что ее и спрашивать нужно осторожно.

— Ишь, гостьюшка, выплыла... До коей поры пролюбезничала?

— Да я... Ишь какая!—проговорила дочь обидчивымъ голосомъ.

— Что, по твоей милости голодать коровамъ-то да курицамъ?

— Да я сичасъ!—крикнула дочь и пошла къ двери.

— Ахъ, ты проклятая!... Куда ты пошла? Умойся сперва, стерва.

Во все это время мать мыла чашки и ложки. Дочь стала умываться.

Мать и дочь молчали. Потомъ дочь сходила въ комнату и босикомъ ушла во дворъ. Я всталъ, подошелъ къ окну; набилъ трубку нѣжинскими корешками и не зналъ, что̀ дѣлать съ трубкой, гдѣ курить? Однако отворилъ окно, закурилъ и старался пускать дымъ на улицу.

Домъ этотъ на тракту; налѣво трактъ, или улица, заворачиваетъ; дома старенькіе, построены другъ къ другу тѣсно, и хотя я нѣсколько разъ проѣзжалъ мимо этихъ домовъ, но теперь не могъ понять по нимъ, что это такое: станція или село, или заводъ? Однако по одному дому и по нѣкоторымъ словамъ хозяйки я узналъ, что это заводъ, но какой?

— Ты, почтенный, не кури здѣсь: я не люблю. Поди, выдь на улицу.

Я ушелъ.

Солнышко уже поднялось, приперло на вершокъ выше крыши дома налѣво. Вѣтра нѣтъ и не жарко. Въ нижнемъ этажѣ сосѣдняго углового полукаменнаго дома говоръ: тамъ мужчины и женщины пьютъ чай и ѣдятъ пироги. Изъ воротъ противоположнаго дома, тоже полукаменнаго, выѣхали въ телѣгѣ четыре женщины и одинъ мужчина; изъ телѣги выходятъ наружу литовки и грабли. Къ этимъ домамъ, и преимущественно къ постоялому, то-и-дѣло подбѣгаютъ десятками, пятками, тройками мальчики и дѣвочки, очень бѣдно одѣтые, босые, съ набирухами и безъ набирухъ и неистово вопіютъ: «милостынку ради Христа!». Имъ кидаютъ изъ оконъ ломти ржаного хлѣба. Подошли и ко мнѣ штукъ десять ребятъ, отъ пяти до семнадцати лѣтъ (одной дѣвочкѣ было около семнадцати лѣтъ), и завопіяли. Я поглядѣлъ на нихъ: тѣло немытое, рубашонки грязныя, по нимъ бѣгаютъ огромныя вши, ноги по колѣна въ грязи и имѣютъ видъ чугуна, волосы на головахъ всклокоченные.

— Богъ подастъ,—сказалъ я. Они встали поодаль и начали ругать меня. Подошелъ ко мнѣ мальчикъ лѣтъ восьми, съ бѣлыми волосами, за нимъ другой поменьше, и оба, протягивая руки, робко простонали: «милостынку, баринъ»...

— У те есть отецъ-то?—спросилъ я мальчика.

Онъ дико смотрѣлъ на меня; мальчикъ поменьше отошелъ прочь и издали смотрѣлъ на насъ.

— Тятька-то живъ?

— Не!..

— А мамка?

— Не!

Я ему далъ пятакъ и спросилъ, куда онъ дѣваетъ деньги, но онъ убѣжалъ.

Нищихъ ребятъ было такъ много, что они осаждали почти на каждомъ шагу; я прошелся нѣсколько по улицѣ, увидалъ церковь и потомъ круглую, красную крышу вдалекѣ, и узналъ по нимъ Шайтанскій заводъ.

Ямщики между тѣмъ встали, сходили къ лошадямъ и начали умываться, умылся и я, вытеръ лицо бѣлымъ платкомъ—зачернилъ платокъ. Въ волосахъ было такъ много песку, что гребенка не лѣзла, пришлось отложить попеченіе о волосахъ. Ямщики свои волосы не расчесывали. Хозяйка поставила на столъ полутораведерный самоваръ, чайную посуду, принесла двѣ большія булки. Ямщики перекрестились и сѣли за столъ. Въ переднемъ углу сидѣлъ тощій, угреватый ямщикъ. Хозяйка подсѣла къ нимъ на табуреткѣ,

— Совсѣмъ, ребята, охрипла: квасу холоднаго напилась!—говорила хозяйка, поминутно кашляя.

Ямщики на это говорили, что нужно пить малину или траву такую-то. Всѣ говорили, но первую чашку еще никто не выпилъ.

— А ты, дворничиха, много-то не растабарывай! забыла?—сказалъ ей сидѣвшій въ переднемъ углу ямщикъ.

— Ахъ, Господи! изъ ума вонъ! прости ради Христа... Марья! а Марья?—крикнула она.

— Ну-у!

— Принеси бутыль да стаканъ.

— Это дѣло. А то горло засохло.

Начали говорить о погодѣ; всѣ желали небольшого дождичка. Рѣчь зашла объ овсѣ и сѣнѣ.

Дочь дворничихи принесла бутыль и стаканъ. Дворничиха налила въ стаканъ водки, поднесла его сидѣвшему въ переднемъ углу, тотъ перекрестился, пожелалъ хозяйкѣ добраго здоровья, выпилъ и сказалъ: «Важно! вотъ это дѣло! а ну-ка, повторную?..». Всѣ ямщики, за исключеніемъ парней, выпили по два стакана, парни выпили только по одному. Началось чаепитіе, и въ десять минутъ, за первой же чашкой, двухъ большихъ булокъ не стало; дворничиха принесла еще три. Мнѣ хотѣлось тоже попить чайку, у меня и чай, и сахаръ былъ, но просить посуды было неловко при ямщикахъ: они на меня подозрительно смотрѣли, и каждый какъ будто порывался сказать мнѣ, чтобы я убирался изъ избы.

— Хошь чаю?—спросила меня дворничиха.

— Покорно благодарю. Если позволишь, я своего всыплю.

— Ну! у меня чаекъ прямо съ Китаю. Пей, да бери сливокъ и булки.

Дѣлать нечего, я взялъ чашку, налилъ сливокъ и взялъ ломоть булки. Булка сырая, кислая, но за неимѣніемъ лучшей, на голодный желудокъ и за это слава Богу.

— Ты, кутейна балалайка, отколь?—спросилъ меня одинъ ямщикъ.

— Родомъ что ли?

— Ну?

— Чердынскаго уѣзда.

— А зачѣмъ ѣздилъ?

— Жениться.

— Что жъ много взялъ приданаго?

— Домъ въ селѣ, да дьяконское мѣсто. Лошадь есть... Только невѣста вдвое старше меня.

— По приказу значитъ?

— Да.

— То-то! Одново разу также ѣхалъ семинарщикъ по невѣсту; а назадъ какъ пріѣзжаетъ съ обозомъ же, а я и спрашиваю; а онъ говоритъ: «впутали, Анна Герасимовна,—на другую недѣлю послѣ свадьбы дочь родила».

Всѣ бывшіе въ кухнѣ захохотали и хохотали минутъ пять.

Отъ этого перешли къ семейной жизни. Одинъ ямщикъ очень плакался на то, что у него умеръ большенькій паренекъ, которому послѣ Николина дня пошелъ десятый годъ и котораго онъ намѣревался взять на слѣдующій годъ съ собой. Другой ямщикъ говорилъ: «да у тебя еще, никакъ, трое парней?».

— Все же жалко. Хоть этотъ, этотъ и этотъ палецъ откуси, все больно!—доказывала дворничиха, показывая, какъ примѣръ, свои пальцы.

Съ этимъ всѣ согласились. Хозяйка, какъ я замѣтилъ, была женщина практическая и до тонкости понимала свое дѣло. Съ ней, какъ видно, даже совѣтуются ямщики. Верещагинъ, рѣдко принимавшій участіе въ разговорахъ, вдругъ сказалъ:

— Ты не слыхала, Анна Герасимовна, Илья Дуранинъ продаетъ телѣгу?

— Продаетъ, сказываютъ; да сказываютъ, не стоитъ того, что онъ проситъ. А ты что, покупать что ли хошь?

— Надо бы. Задняя-то у меня что-то больно разваливается.

— А вотъ Осипъ Покидкинъ, знашь, что съ Ключаревымъ Степкой ходитъ, продаетъ новую. Эту бы я посовѣтовала тебѣ взять.

— И то! Покидкинъ не какой-нибудь прощалыга. Ему вѣрить можно завсягды!—сказалъ сидѣвшій въ переднемъ углу ямщикъ.

Начали говорить о плутняхъ разныхъ ямщиковъ и подрядчиковъ. Языки ямщиковъ, послѣ выпивки водки, точно развязались: каждый старался что-нибудь сказать отъ себя такое, чтобы это удивило всѣхъ, и онъ бы одинъ разсказывалъ, но верхъ брала все-таки дворничиха. Разсказывали про какого-то подрядчика. Всѣ о немъ кое-что знали, но самой сути не знали: вѣроятно, они слышали объ этомъ подрядчикѣ отъ хозяевъ и хозяекъ другихъ постоялыхъ домовъ, которые въ свою очередь получаютъ свѣдѣнія тоже отъ ямщиковъ.

— Нѣтъ, вы все не такъ судите; я достовѣрно

знаю, откуда онъ пріобрѣлъ капиталы. Онъ мнѣ ни сватъ, ни братъ, ни большая родня... Онъ одново разу купца везъ съ любовницей, купецъ-то умеръ въ дорогѣ, а его любовница денежки подобрала, только онъ эти деньги-то укралъ у нея и спряталъ потомъ въ косякъ. Любовница-то не посмѣла назваться, а онъ все помалчивалъ.

— Экое, подумаешь, счастье человѣку!

Каждый ямщикъ выпилъ по десяти чашекъ чаю. Выпили два самовара, поблагодарили хозяйку за чаекъ и вошли во дворъ попоить коней. Сидѣвшій въ переднемъ углу ямщикъ сталъ шептаться съ дворничихой и отдалъ ей красненькую бумажку, потомъ и самъ вышелъ на дворъ.

— Трудновато, поди, вамъ одной-то?—спросилъ я дворничиху.

— Что сдѣлашь... одна. При покойникѣ мужѣ легче было.

— А вы заводскіе?

— Онъ-то приказчикомъ былъ по каравану, да простудился. Поправиться-то поправился, да дохтура не послушался: сталъ табакъ проклятый курить и вино пить... А вотъ ты хоть ученый, а табакъ куришь, а того и не знаешь, поди, что грѣхъ.

— Это, тетушка, ничего: что въ уста идетъ ничего, а изъ устъ...

— Справедливы твои рѣчи, только табакъ я тебѣ не совѣтую курить, потому человѣкъ аки былинка сохнетъ.

— Это точно: на легкія садится.

Запищали подъ окнами нищіе.

— Ахъ, чтобъ имъ околѣть проклятымъ... Съ Богомъ!—крикнула дворничиха.

Немного погодя опять пискъ.

— Вотъ ужъ сегодня третью ковригу подаю,— сказала она, отрѣзывая три маленькіе ломтика.

— Господь сторицею вознаградитъ за ваше благотвореніе къ неимущимъ,—сказалъ я.

— Охъ!.. И что это за напасть такая! и откуда взялись эти нищіе? Прежде и отродясь этого не бывало... Вишь ли, до воли-то никто не смѣлъ изъ завода отлучаться, держали такъ крѣпко всѣхъ, что всѣ въ повиновеніи были, тише воды, ниже травы жили, а какъ уволили, и пошли они въ другія мѣста.

— Однако я замѣчалъ мужчинъ.

— Ну, вѣдь не всѣмъ же мужчинамъ уходить. Ушли пьяницы, да кои не хочутъ за покосы платить... Ну, и дѣтей побросали... Бабы тоже, кои нищенками живутъ въ городахъ, а кои здѣсь работами занимаются.

— Какими?

— Да вотъ хоть бы я на покосъ созвала. Ну, накормлю, спасибо скажутъ.

Черезъ полчаса дворничиха накрыла скатертью столъ. Ямщики, умывъ черныя ладони, перекрестились и сѣли за столъ въ такомъ же порядкѣ, какъ и чаевали.

— А ты что, поповичъ, не садишься?—спросилъ меня сидѣвшій въ переднемъ углу ямщикъ.

— Боюсь какъ бы не помѣшать вамъ.

— Не помѣшашь, коли самъ не брезгливъ. Чать, со вчерашняго-то утра, окромя чая, ничѣмъ не питался.

Я сѣлъ. На столѣ стояли три большія деревянныя чашки, деревянная солонка съ солью, ковригъ хлѣба и нѣсколько деревянныхъ ложекъ, смѣшанныхъ съ двумя ножами и двумя вилками.

Дворничиха налила изъ чугуна щей въ чашки. Щи были очень вкусныя, со свѣжей капустою, картофелью и морковью, бульонъ жирный. Ложки тоже аппетитныя, такія, что не влѣзали въ мой ротъ. Всѣ говорили, только я молчалъ сперва, но потомъ ко мнѣ привязался парень-ямщикъ и сталъ спрашивать: почто я стеклышки ношу? Отъ очковъ разговоръ перешелъ къ татарамъ, которые не любятъ семинаристовъ. Одинъ ямщикъ разсказывалъ мнѣ, какъ нѣкій семинаристъ стащилъ въ татарскую мечеть свинью, но это была уже старая исторія. Дворничиха нѣсколько разъ подливала щей въ чашки и приносила, кажется, до трехъ караваевъ хлѣба. Изъ той чашки, изъ которой я бралъ щи, хлебали еще трое, но я уже былъ сытъ на второй чашкѣ и четверть часа сидѣлъ, поглядывая на ямщиковъ. Сидящій въ переднемъ углу ѣлъ не торопясь и преспокойно разговаривалъ о какомъ-то плотникѣ; сосѣдъ его по правую руку хлебалъ больше всѣхъ, и первый требовалъ прибавки щей; двое безбородыхъ ямщиковъ вторую чашку прозѣвали, потому-что занимались крошеніемъ хлѣба, тогда какъ товарищи уписывали. Верещагинъ горячился, двое подзадоривали его, а третій трепалъ его по волосамъ. Послѣ щей дворничиха наложила говядины. Надо замѣтить, что крестьяне и вообще ямщики не хлебаютъ съ говядиной, а говядина у нихъ второе блюдо. Съѣли шесть тарелокъ. Я былъ сытъ до-нельзя, но меня заставили.

— Ты, поповское отродье, что модничаешь?— спросилъ меня одинъ ямщикъ.

— Сытъ.

— Врешь. Ѣшь! по-нашему ѣшь.

— Да не могу.

— Ребята, давайте ему въ ротъ накладывать? — сказалъ сосѣдній со мной ямщикъ. Но къ моей радости этого, впрочемъ, не исполнилъ никто. Выйти изъ-за стола было неловко: я бы не почелъ столъ.

Подали большой горшокъ просовой каши и бѣлаго хлѣба. Кашу выхлебали, но до бѣлаго хлѣба никто не дотронулся: значитъ всѣ были сыты.

Поблагодарили хозяйку. Я спросилъ ее, сколько ей нужно за чай и обѣдъ, она спросила двадцать пять копеекъ. Ямщики стали поить, потомъ запрягать лошадей.

— Выгодно ли вамъ, хозяюшка, содержать постоялый домъ?—спросилъ я дворничиху.

— Богъ милостивъ: кое-какъ на харчи сходится. Все одна—это безпокоитъ.

— Ну, вотъ дочь выдашь замужъ.

— Ну, ужъ и зятья-то всякіе есть. Есть у меня знакомая въ Билимбаихѣ, ну да она, правда, строга очень, выдала дочку, а зятекъ и плевать

хочетъ, и жену отъ дѣла отводитъ; такъ она и мается одна. Вѣдь шутка: ни днемъ, ни ночью отдыху нѣтъ... За мою-то дочь двое сватаются, да я еще и не отдамъ, потому мнѣ нужно помощника: вѣдь у меня четыре коровы, курицъ однѣхъ сорокъ пять... Жениховъ-то нонн хорошихъ нѣтъ: пьяницы да лѣнивцы, прости Господи.

— А другіе у васъ останавливаются, кои не съ обозомъ ѣдутъ, а обратно?

— Такихъ я не принимаю; разѣ ужъ хорошаго знакомаго. Разсчету нѣтъ, потому разъ: такому много ли надо овса на одну лошадь; а другой насоритъ, да съѣстъ на сколько... Нѣтъ, невыгодно.

— Должно быть вы не мало за это платите казнѣ?

— Что?

— Да вѣдь постоялые дома берутъ кажется свидѣтельства?

— Я не плачу, потому у меня только ямщики останавливаются.

— Здѣсь должно быть много постоялыхъ домовъ?

— До десятка наберется, — обозовъ-то много ходитъ.

Поѣхали. Я сидѣлъ въ своемъ гнѣздѣ; ямщики шли вразсыпную; въ заводѣ мало движенія, тихо, только изъ Перми проѣхало девять троекъ; въ телѣгахъ сидѣло по четыре, по пяти человѣкъ ссыльныхъ. Поднялись на гору, опять спустились. Животъ колетъ, сидѣть невозможно, я слѣзъ. Верещагинъ тоже шелъ.

— Животъ болитъ, Семенъ Васильичъ!

— О, будь ты за-болотцемъ!

— Сперло. Много наѣлся, истрясло...

Верещагинъ захохоталъ.

— А баба славная. Мы у нея всегда останавливаемся, ни въ чемъ не отказываетъ.

— Много ли она съ васъ беретъ?

— Да чего ей брать-то съ насъ? Вѣдь она за маленку-то овса беретъ съ каждаго по восьми гривенъ, а въ маленкѣ полпуда, а пудъ овса ей обходится по восьми гривенъ.

— Ну, вы бы у другихъ брали.

— Охъ ты, у другихъ брали? Тогда, значитъ, намъ какъ быть, — голодомъ? А вотъ мы зато и уважаемъ ее, что она насъ кормитъ хорошо. Такого обѣда нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не найдешь, окромя дворниковъ.

— Значитъ дворники вами кормятся и наживаются... Я думаю и тебѣ хочется быть дворникомъ.

— Куды!

Въѣхали возы на гору. Съ горы видъ великолѣпный: виденъ Шайтанскій заводъ, который сидитъ точно въ ямѣ; надъ нимъ со всѣхъ сторонъ возвышаются разныхъ величинъ горы; лѣсъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше кажется чернымъ; кое-гдѣ въ этихъ черно-зеленыхъ, черно-синихъ группахъ, слояхъ попадаются сѣрые и красные четырехъ-пяти и многоугольники, которые отсюда кажутся очень маленькими, какъ и все, что находится впереди, но они, эти угольники, заключаютъ въ себѣ, по словамъ Семена Васильича, цѣлые десятки верстъ.

Проѣхали Билимбаевскую контору вольной почты, биткомъ набитую проѣзжающими, проѣхали постоялые дворы, биткомъ набитые телѣгами и ямщиками. Жизнь кипитъ въ заводѣ; по случаю праздника Ильина дня, народъ идетъ въ церковь, много ѣдетъ во дворы домовъ телѣгъ съ мужчинами и женщинами, съ литовками, граблями и травой. Заводъ по тракту очень чистенькій, но чѣмъ дальше во внутрь, тѣмъ онъ больше походитъ на большое село. И здѣсь, по тракту, въ двухъ мѣстахъ ребята стараются закинуть на телеграфныя проволоки клочекъ рогожки съ камешкомъ, бичевочку.

Опять лѣсъ, но лѣсъ рѣдкій. Мы ѣхали не по тракту.

— Отчего мы не по тракту ѣдемъ?—спросилъ я Верещагина.

— Черезъ Чусовую бродомъ поѣдемъ. Крюкъ большой, да что дѣлать! Тамъ на паромѣ-то деньги берутъ, да и до вечера прождешь, потому господъ больше нашего уважаютъ, хочь и даромъ перевозятъ.

— А перевозчикамъ, поди, убытокъ?

— Дуракъ разѣ какой на паромѣ поѣдетъ теперь...

— Ну, а несчастныхъ случаевъ не было?

— Былъ разъ: съ чаемъ возъ утонулъ, такъ давно, не туда поѣхалъ, ночью.

Около деревни Коноваловой мы перешли черезъ Чусовую — грозу въ весеннее время для дорогъ. Здѣсь она имѣетъ ширины сажень тридцать, а, судя по песчанымъ берегамъ, весной она имѣетъ глубины сажени на полторы, теперь же она хотя и разливается по всему дну рѣки, но имѣетъ глубины въ этомъ мѣстѣ полторы четверти. За деревней я увидалъ вдругъ около нашего обоза двухъ женщинъ и одного мужчину. Женщины были одѣты въ пальто; на головахъ у нихъ платки, въ рукахъ палки; мужчина шелъ въ халатѣ, въ фуражкѣ; за плечами у него болтается мѣшочекъ, въ рукахъ палка, а лицо его избито.

— Это что за люди?—спросилъ я Верещагина.

— А тоже, какъ ты, ѣдутъ: двѣ-то богомолки, а тотъ-то не знаю кто. Все-жъ перепадетъ имъ.

Четыре ямщика спали на возахъ, двое шли, остальные сидѣли на передкахъ телѣгъ. Я пошелъ около женщинъ; ихъ узлы лежали въ телѣгахъ.

— И что я тебѣ скажу, Офросинья Ивановна, — такъ-таки и зарѣзала. А какъ зарѣзала, цѣлая исторія, я тѣ скажу. Вишь, отецъ-то приказчикъ, ну, знамо первый богатѣй. А она и влюбись, и въ кого?

— Мать Пресвятая Богородица!

— Въ кого бы ты думала?.. Это матушка загадка...

— Въ управляющаго?

— И! куда хватила... — Потомъ она увидѣла меня и спросила:

— Вы, господинъ изъ духовенства?

— Да.

— Изъ какихъ мѣстовъ уроженецъ?

— Екатеринбургскаго уѣзда.

— Фамилія?

— Федоровъ, Петръ Митріевъ.

— Знаю, знаю. Вашъ батюшко не служилъ ли въ Сысертскомъ заводѣ?

— Служилъ.

— Ну, а вы меня не узнали?

— Нѣтъ.

— Вѣдь я крестная мать ваша.

— Что вы? какъ это?

— Да, я жена...—и она назвала мастера, фамилію котораго я позабылъ.—Я васъ воспріимала, когда гостила у вашего батюшки...

— Ваша фамилія?

— Подосенова, Агнія Потаповна.

— Такъ вы вѣрно ошиблись; у меня другая была крестная.

— Неужели?... А я вѣдь васъ такъ и приняла... Извините, Христа ради... Что же вы жениться ѣздили? — спросила она меня, смотря на кольцо на рукѣ.

— Да, женился.

— Гдѣ взяли?

— А въ Крестовоздвиженскомъ селѣ дьяконскую дочь.

— А какъ ее по фамиліи?—спросила другая.

— Пантелѣева.

— Эдакое вамъ счастье: вѣдь я отъ купели принимала Анну-то Павловну? Я дьячиха была, да потомъ мужъ-то мой въ солдаты нанялся. Я въ селѣ-то восемь лѣтъ не бывала... Хорошую вы жену выбрали?

Я былъ въ западнѣ и не зналъ вѣрить или нѣтъ этой женщинѣ, которую я ни за что, ни про что долженъ былъ называть крестной матерью и оказывать ей почтеніе. Я-то вралъ по необходимости, только на меня навернулись бабы ловкія, какъ видно, а можетъ-быть, онѣ и правду говорятъ.

— Куда вы идете?—спросилъ я крестную мать.

— Да иду ко святымъ мощамъ до Кіева... Ахъ, ты мой батюшко, сподобилъ таки Господь увидать мнѣ зятька. Ну, а матушка-то ея, какъ ее...

— Анна Ивановна,—вралъ я.

— Да, да... жива ли?

— Умерла. Поэтому-то мнѣ и предложили въ консисторіи эту дѣвицу и мѣсто, а она оказалась старуха, и я этимъ очень недоволенъ.

— Что ты, Христосъ съ тобой! духовный человѣкъ и говоришь такія рѣчи. Анна-то Павловна дѣвушка-то была все равно, что лебедь.

Разговоръ о мнимыхъ моихъ родныхъ продолжался долго. Женщина считала меня дѣйствительно зятемъ, потому что она въ самомъ дѣлѣ была воспріемницей какой-то Анны Пантелѣевой.

Товарка ея встрѣтилась съ ней въ Рѣшотахъ, и онѣ скоро подружились. Крестная мать своей попутчицѣ что-то мало довѣряла: «такая подмазуня, что и не говори!.. А баба воръ. Спасибо, что родственнаго человѣка встрѣтила,—все-таки веселѣе и опаски меньше будетъ до Перми».

— Въ Перми-то я въ семинаріи живу, потому намъ не приведется вмѣстѣ жить.

Женщина обидѣлась. Она разсказывала, что мужъ ея былъ горкій пьяница и таскался съ крестьянской дѣвкой и, наконецъ, за буйство былъ отставленъ отъ службы, а потомъ нанялся въ солдаты за сына кабатчика, который почти-что самъ его стурилъ.

— Видишь ли, дѣло-то какое,—говорила она,—мужъ-отъ мой все пьянствовалъ да водилъ компанью съ писаремъ, и писаря отдалъ подъ судъ: поссорился съ нимъ, да жеребьевый списокъ и укралъ, да и бросилъ въ огонь, а тотъ не узналъ, кто эту штуку сдѣлалъ, такъ его и отдали подъ судъ, вмѣстѣ съ старшинами; мужъ еще прошенье отъ одного мужика написалъ, что неправильно сдали его единственнаго сына, а самъ онъ слѣпой... Ну, такъ и бился, а потомъ и совсѣмъ спился и жилъ въ кабакѣ. На ту пору наборъ заслышали. Вотъ кабатчикъ-то и не выпускаетъ его изъ кабака: пей, говоритъ, ты мнѣ нуженъ, одну бумагу нужно заключить... Ну, а потомъ и подсунулъ ему условіе подписать!.. согласенъ-де въ рекруты за его сына итти, и взялъ впередъ денегъ въ разное время полтораста рублей... Шутка сказать!.. Ну и поитъ, и поитъ, а потомъ и увезъ въ городъ а потомъ и въ рекрутское... Я это узнала, пошла въ городъ къ губернатору, тотъ велѣлъ просьбу подать... Ну, стали спрашивать моего мужа: по согласью ты идешь? а онъ пьянъ, бурлитъ только... Приняли... Уже этотъ кабачникъ замаслилъ такъ всѣхъ... Только мой несчастный голубчикъ не дождался и ученья, сгорѣлъ.

— Жалко! Что же у васъ дѣтки есть?

— Дѣвочка въ городѣ въ кухаркахъ живетъ, а я въ своемъ-то селѣ калачами торговала, да что-то ужъ больно лѣвая рука разболѣлась, такъ я пошла къ Симіону Верхотурскому, не помогло, теперь иду къ Кіевскимъ, они можетъ сильнѣе.

— Вѣру нужно имѣть: побольше надѣяться на милосердіе Господне, молиться,—говорилъ я.

— Охъ!

— Ты что,—заговорила другая тетушка,—а вотъ я-то, какъ мыкаюсь... Охъ-хо-хо! мужа-то моего ни за что, ни про что въ Сибирь, да еще въ каторгу сослали... А у меня четверо дѣтей... За покосъ вонъ деньги просятъ, а какой покосъ-то? Гора, а на ней и трава, что есть, на столько не поднимается (и она показала, четверть пальца)... Просила, просила, ходила... сколько слезъ-то было; говорятъ, не стоишь лучше этого: не ты одна; есть-де и почище тебя.

— Вы бы лучше въ городъ пошли.

— Охъ, голубчикъ! молодъ ты еще, неопытенъ. Ну, что я буду въ городѣ-то дѣлать, къ чему я обучена? Стара ужъ я стала.

— Ну, а до Кіева какъ вы доѣдете?

— Какъ-нибудь подаяньями... А сходить надо—по обѣту... Кабы мужъ-то былъ дома, такъ не то бы было.

Я отсталъ отъ нихъ и познакомился съ мужчи-

ной. Это былъ заводскій человѣкъ и посовѣтовалъ мнѣ быть осторожнѣе съ бабами.

— Почему?—спросилъ я.

— Я слышалъ такіе разговоры, что онѣ непремѣнно воровствомъ промышляютъ.

— Вотъ у насъ такъ нечего украсть,—сказалъ я весело. Съ этимъ онъ согласился и сказалъ, что его въ Шайтанскомъ заводѣ ночью избили и обокрали какіе-то неизвѣстные люди.

Однако я и ему не довѣрялъ, потому-что личность его казалась довольно подозрительною.

Жарко и душно было по-вчерашнему; пыль почти съ каждымъ дыханіемъ садилась въ горло; вся одежда пожелтѣла отъ пыли. Обозъ шелъ не по самому тракту, а по бокамъ его, на правой или на лѣвой сторонѣ, гдѣ проложено обозами даже по двѣ дороги, потому-что по тракту невозможно ѣхать даже на почтовыхъ, такъ какъ щебень не мелко избитъ, а песокъ пока ссыпанъ въ кучи и находится тутъ для прикрасы тракта. Въ лошадяхъ я еще замѣтилъ новую для меня черту: хозяинъ передней лошади, онъ же и подрядчикъ, часа два спалъ на возу. Въ это время передняя лошадь часто останавливалась, за ней останавливались и прочія лошади, не забѣгая впередъ, не сворачивая въ стороны. Проснувшись хозяинъ свистѣлъ, и лошадь шла и съ линіи не сворачивала. Ей не нравилось итти по тракту, или она видѣла, что отъ тракта идетъ дорога налѣво и шла по этой дорогѣ до тѣхъ поръ, пока эта дорога не вела снова на трактъ. Встрѣчные обозы, гдѣ тоже спалъ передній ямщикъ, не сталкивались съ нашею переднею лошадью: онѣ или шли по двумъ разнымъ дорогамъ, или, если гдѣ была одна дорога, расходились на такое разстояніе, что колеса не задѣвали другъ друга. Такъ же точно переднія лошади сторонились и отъ почтовыхъ лошадей, а за ними сторонились и прочія лошади.

Верещагинъ объяснилъ мнѣ, что тѣ лошади, которыя ходятъ въ обозѣ нѣсколько лѣтъ по привычкѣ идутъ и знаютъ трактъ, какъ люди, онѣ даже знаютъ—у какихъ воротъ остановиться нужно въ селѣ.

— А что же этотъ подрядчикъ — капиталъ имѣетъ?

— Нѣтъ. Вся сила въ лошадяхъ и въ томъ, что онъ человѣкъ извѣстный. Видишь ли: есть у тебя лошади, хочется кладь везти, а кто тебѣ довѣритъ кладь, когда тебя никто не знаетъ и у тебя только три лошади. А извѣстенъ ты можешь тѣмъ быть, что много лѣтъ съ обозами ходилъ, всѣ эти обозныя дѣла маракуешь, и ямщики тебѣ довѣряютъ. Ну, вотъ ты и говоришь приказчику: у меня есть, къ примѣру, тридцать лошадей, и я на пристани извѣстенъ, ну, и отберутъ отъ тебя такую бумагу, свидѣтельство что ли, и условія тутъ различныя включатъ, а ты потомъ и говоришь своимъ знакомымъ: кто ко мнѣ? А то больше бываетъ такъ: соберутся ямщики и давай рядить: какой нони товаръ везти, и почемъ, и какъ? Кого надо въ подрядчики выбирать! А выбирать надо тоже не пьяницу, такого, чтобы человѣкъ былъ добрый, не обсчитывалъ и чтобы на постоялыхъ ямщикамъ уваженіе было, и деньги чтобы наши онъ у себя держалъ и въ цѣлости потомъ намъ представилъ.

— А если онъ обманетъ?

— Ну, этого не бываетъ, потому мы выбираемъ человѣка надежнаго, и онъ отъ насъ не убѣжитъ, постоянно при насъ находится. И опять онъ тоже на свой страхъ товаръ приматъ, а это важно: не всякъ на это рѣшится, потому съ нашимъ братомъ тоже и несчастья бываютъ. Ну, мы и не отстаемъ отъ него, коли онъ не обидитъ, а обидитъ—другого найдемъ: есть ихъ.

— Что же вы ему за это платите?

— По полторы, а если кладь хорошая и по двѣ копейки съ пуда платимъ. Потому нельзя.

— Ну, а бываетъ, подрѣзываютъ товары, напримѣръ, чай?

— Бываетъ, только теперь рѣдко, потому мы по ночамъ-то по такимъ мѣстамъ, гдѣ воровъ много, не ѣздимъ; ежели товаръ неважный, такъ ничего, небоязно...

— Мнѣ въ Билимбаихѣ хозяйка постоялаго двора предлагала купить чаю и дешево. Я у нея видѣлъ два цибика. Откудова же она ихъ покупаетъ?

— О, будь ты за-болотцомъ! У кого ей лучше купить, какъ не у насъ. У насъ тоже бываетъ такъ, что мы всей артелью бываемъ должны, хоть той же Аннѣ Герасимовнѣ рублей по десяти, ну, вотъ и отдаемъ ей сообща мѣсто чаю, и квитъ, а потомъ и объявимъ, что срѣзали, а если будутъ взыскивать, такъ опять-таки сообща заплатимъ и меньше. Одново разу такъ мы четыре мѣста ухнули. Одново разу у ямщика лошадь пала почти на самомъ большомъ переходѣ. Ну, а самъ знаешь, ему горько, да и намъ-то непріятно, потому—хлопотъ сколько, нужно на себя приматъ съ пустой телѣги кладь, а мы накладываемъ на телѣги лѣтомъ 18 и 20 пудовъ, а зимой и 22 пуда, въ акуратъ постоянно... Ну, подрядчикъ и говоритъ: такъ нельзя, надо какъ-нибудь довезти возъ до постоялаго, да ему купить лошадь. А хорошая лошадь, для обоза годная, стоитъ восемьдесятъ и сто рублей. Такъ, говоритъ подрядчикъ, надо чаи задѣть. Ну, конечно, всѣ съ этимъ согласны, потому свой человѣкъ, съ маленькихъ лѣтъ съ нимъ ходимъ,—жалко. Пріѣхали къ дворнику, такъ и такъ говоримъ: подрѣзали, одно мѣсто взяли и ямщиковъ избили. А дворникъ смѣется: разсказывайте, говоритъ, сказки, здѣшнее мѣсто еще Богъ миловалъ; это, говоритъ, не подъ Ключами или Тамисками. Ну, мы и говоримъ, какое дѣло. Ладно, говоритъ, за мѣсто чаю, я свою лошадь отдамъ, а чтобы вамъ опаски не было, давайте еще два мѣста: одно мнѣ зато, что я старшина въ волости, а другое становому—онъ вамъ бумагу дастъ и будетъ слѣдствіе производить. Тутъ нашъ подрядчикъ и говоритъ: ты, дворникъ и старшина, скажи становому-то, что молъ, у насъ четыре мѣста срѣзали: одно мѣсто мы еще себѣ возьмемъ, съ дворникомъ въ городѣ нужно разсчи-

таться... Ну, и получили бумагу отъ станового, что у насъ четыре мѣста подрѣзали и насъ избили ловко.

Съ послѣднимъ словомъ Верещагинъ сталъ влѣзать на возъ.

Я начиналъ проклинать дорогу; такъ она была невыносима, что готовъ былъ послѣднія деньги отдать, только бы сѣсть въ повозку и умчаться скорѣе отъ обозныхъ. Хочется курить, а покуришь—пить хочется, возьмешь въ ротъ свинчатку—не дѣйствуетъ, и радъ не радъ, что увидишь ручеекъ. Сапоги начинаютъ отказываться—каблуки стоптались, сидѣть невозможно—трясетъ; солнышко палитъ и радъ не радъ, когда оно на минутку скроется за бѣлую тучку, медленно подвигающуюся куда-то; а куда—этого ни я, ни всѣ ямщики не могли сказать, только по солнцу, высоко стоящему впереди насъ, можно было заключать, гдѣ какая часть свѣта, но и эти предположенія разсѣивались тѣмъ, что какъ ни изгибалась дорога, солнце стояло все впереди насъ...

Пошелъ я спать съ женщинами, которыя, кажется, уже привыкли къ путешествію, потому что шли скоро, подпираясь палочками, и только сѣтовали, что солнце жжетъ и надо бы дождя. Мнѣ хотѣлось вникнуть въ этихъ женщинъ, но онѣ были очень хитры, и каждый мой щекотливый вопросъ искусно заговаривали постороннимъ, ненужнымъ для меня предметомъ. Мы всѣ не довѣряли другъ другу.

— Вы, давеча, тетушка, какой-то интересный разговоръ начали объ убійствѣ, да я помѣшалъ вамъ. Я тоже не прочь бы послушать,—спросилъ я жену мастера.

— Да! Вотъ я тебя, Офросинья Ивановна, спрашивала... да бишь, загадку заганула, въ кого дѣвка влюбилась?

— Не знаю.

— Въ кучера.

— Мать Пресвята Богородица! Неужели?—говорила крестясь крестная мать.

— Да, ей-Богу! А кучеръ-то красивый... Ну, она и влюбись, и никто вѣдь не зналъ, окромя ея сестры, коей было годовъ двѣнадцать всего-то.

— Господи!

— Ну... Вотъ маленькая сестра и говоритъ ей: мамонькѣ скажу, и примѣчать стала за ней, а та сердится,—сестра покою ей не даетъ. Ну, и приди же ей въ голову мысль зарѣзать сестру. Одново разу онѣ въ банѣ парились, а старшая-то сестра и спрячь бритву въ башмакъ, пошла за бритвой, не могла найти; страшно ей таково сдѣлалось. Ну, значитъ и задумала зарѣзать меньшую сестру... Не залюбила она ее больно; родители-то, вишь, больше къ меньшой дочери ластились, а большая все около дому была. Ну, не можетъ терпѣть меньшой сестры,—и баста!.. И Богу-то молится, чтобы онъ помогъ ей зарѣзать сестру, и все-таки невидимая сила не допускаетъ ее до этого. Только тотъ вечеръ, какъ зарѣзать сестру, она ужинала съ отцомъ, матерью и съ меньшой сестрой. Ну, ѣда нейдетъ на умъ, а отецъ жалуется, что ему что-то скучно. А у него съ дѣтьми все несчастья бывали: помирали нехорошей смертью. Ну, онъ и говоритъ: не долго, говоритъ, ужъ и тебѣ, Аннушка, въ дѣвкахъ сидѣть, скоро выдамъ, останется одна Маша, да и ту придется тоже, Богъ дастъ, выдавать. Одинъ я останусь... А Маша и глядитъ на Анну такъ сердито, и та на нее глядѣть не можетъ. Только мать и говоритъ мужу своему: а ты не примѣчалъ, Иванъ Петровичъ, что между нашими дочками что-то нехорошее доспѣлось?.. Отецъ это поблѣднѣлъ, только ничего не сказалъ. Ну, пошли спать. Дочери спали съ бабушкой, только бабушка въ этотъ день въ гостяхъ была. Ну, легли обѣ спать. Маша заснула скоро, только Анна не спитъ. Ну, и встала, стала молиться, плачетъ и бритву держитъ въ рукѣ. Подползла это къ меньшой сестрѣ и чиркъ ее по горлу два раза, а потомъ и выскочила въ окно, да къ дядѣ. Тѣ перепугались: на дѣвкѣ лица не знать, платье въ крови... Что, спрашиваютъ, съ тобой доспѣлось? Она дрожитъ и слова сказать не можетъ, а потомъ и сказала: сестру зарѣзала, потому она ревновать стала.

— Господи! Что жъ, ее плетями драли?

— Нѣтъ. Сказываютъ, она теперь съ ума сошла, простили. Отецъ-то много потратилъ денегъ. Одному судьѣ, сказываютъ, ввалилъ пять тысячъ.

Часовъ въ семь вечера нашъ обозъ подкатилъ къ Гробовскому селу. Значитъ мы въ сутки проѣхали семьдесятъ шесть верстъ. Верещагинъ благодарилъ Бога зато, что онъ помогъ имъ проѣхать какъ разъ столько верстъ. А надо замѣтить, что у обозныхъ ямщиковъ время разсчитано: когда отправляться, гдѣ сколько пробыть и въ какое время пріѣхать. Каждый ямщикъ хорошо знаетъ, что его лошадь только тогда идетъ скорѣе, когда она простоится, отдохнетъ, хорошо поѣстъ, а потомъ шагу не прибавитъ и пройдетъ въ часъ ровно четыре версты. Обозныхъ лошадей стегаютъ нѣжно и никогда не дерутъ нещадно, палки здѣсь не существуютъ; «зато, говорилъ мнѣ Верещагинъ, наши лошади не годятся для другой ѣзды. Случается, что я возвращаюсь домой пустой, и тогда лошади не прибавятъ шагу, и я постороннему человѣку ни за что не дозволю ударить мою лошадь кнутомъ». Село расположено по косогору и перерѣзывается рѣчкой, черезъ которую перекинутъ деревянный мостъ. Сперва мы поднялись, потомъ спустились, трактъ повернулъ налѣво, опять поднялись. Дома стоятъ тѣсно другъ къ другу: на улицу выходитъ много сараевъ съ крытыми соломой крышами. Изъ многихъ домовъ слышатся пѣсни, пляски, наигрыванья на гармоніяхъ; на самомъ тракту, передъ окнами, дѣвки кружатся и поютъ пѣсни. Въѣхали мы во дворъ. Направо въ домѣ пѣсни, пляска; подъ навѣсомъ направо бродятъ двѣ лошади благороднаго вида, запряженныя въ линейки и съ ними никакъ не можетъ справиться семилѣтній мальчикъ въ ситцевой розовой рубахѣ и плисовыхъ шароварахъ. Изъ оконъ глядѣли на насъ красныя лица, съ посоловѣвшими глазами, въ которыхъ все-таки замѣчалась удаль, какъ будто доказывающая, что «мнѣ теперь ничто нипочемъ». Вышла пожилая

женщина въ новомъ ситцевомъ платьѣ и съ косынкой на головѣ. Она поклонилась ямщикамъ, ямщики поздравили ее съ праздникомъ и попросили овсеца.

— Сичасъ, сичасъ, дорогіе гости,—и она убѣжала въ домъ, изъ котораго, немного погодя, вышла молодая женщина. Ее тоже поздравили съ праздникомъ, а одинъ молодой ямщикъ ущипнулъ ее за руку, на что она сама отвѣтила ему кулакомъ.

Всѣ ямщики пошли сперва съ мѣшками за овсомъ, потомъ съ кошелями за сѣномъ и, возвращаясь отъ амбара, вздыхая говорили:

— Охъ, времена!.. Какъ нонѣ овесъ-то прыгаетъ.

Между тѣмъ въ домѣ не умолкали пѣсни. Мало-по-малу стали слышаться изъ дома раздирающіе крики на разные тоны, голосили женщины. Изъ дома провели въ сарай какого-то толстаго, низенькаго человѣка, который и на ногахъ не могъ держаться. Это, какъ я узналъ вскорѣ, былъ самъ хозяинъ постоялаго двора. Ямщиковъ то-и-дѣло звали въ домъ, но они капризничали, говоря, что имъ еще недосужно, что они заняты своими лошадьми. Наконецъ, стали умывать руки, лица и повалили въ избу налѣво. Направо помѣщеніе хозяина, и тамъ веселились гости.

— Что же, Семенъ Васильичъ, здѣсь праздникъ, что ли?—спросилъ я Верещагина, оставшись съ нимъ наединѣ.

— О, будь ты за-болотцомъ! Вѣдь вчера Ильинъ день былъ, ну какъ вѣдь хорошій праздникъ бываетъ три дни.

— Понимаю. Значитъ со страдой покончили?

— Вѣрно.

— А чѣмъ же они промышляютъ?

— Чѣмъ?—овсомъ да рѣпой торгуютъ; капусту еще садятъ. А больше извозомъ занимаются. Вонъ Иванъ Панкратьевъ, что утирается, Гробовской, а прочіе на земскихъ и обывательскихъ ѣздятъ.

— А что же хлѣбъ-то, не ростетъ что ли?

— Немногіе занимаются: мѣста неподходящія, не прокормишься.

Въ комнатахъ дрались; потомъ человѣкъ пять сѣли на линейку и съ пѣснями уѣхали, но въ комнатѣ продолжались попрежнему пѣсни и пляска.

Подали самоваръ, бѣлаго хлѣба; ямщики пошли въ комнату поздравлять или выпить. Немного погодя въ избу вошелъ высокій здоровый мужчина, въ черномъ кафтанѣ нараспашку, и пошатываясь подошелъ ко мнѣ.

— Кутейникъ!—крикнулъ онъ.

Я промолчалъ.

— Тебя спрашиваютъ?

— Кутейникъ.

— А что жъ ты не поздравляшь меня съ праздникомъ? Я хозяинъ, а ты гость.

Дѣлать нечего: я всталъ, подошелъ къ нему и, протянувъ руку, извинился въ своей невѣжливости.

— То-то! Меня и нашъ домъ вся губерня знатъ!.. Я люблю вашего брата. Цѣлуйся.

Мы поцѣловались. Онъ нѣсколько разъ цѣловалъ меня и заслюнилъ все мое лицо.

— Иди же къ гостямъ, я тѣ честь воздамъ...— и онъ крѣпко сжалъ мою руку и потащилъ меня въ комнаты.

— Ей вы, дуры!.. Смирно! Не плясать!.. Перискаго на тракту словилъ кутейника... Ей, Марья?.. водки, живо... Пироги сюды? Я васъ! — кричалъ хозяинъ, не выпуская мою руку.

Въ комнатѣ въ два окна, между которыми приколочено было простенькое зеркало съ конфектными картинками на рамкахъ, съ лавками, крашенымъ столомъ въ переднемъ углу, съ двумя дверьми направо и налѣво, топталось и сидѣло штукъ восемь мужчинъ и женщинъ; женщины одѣты нарядно въ ситцевые сарафаны и платья, съ простенькими шалями на плечахъ, съ платками и косынками на головахъ мужчины—двое въ розовыхъ ситцевыхъ рубахахъ и плисовыхъ шароварахъ, одинъ въ черномъ кафтанѣ. Когда я пришелъ въ комнату, двѣ женщины пѣли и топтались, одинъ мужчина игралъ на гармоникѣ, другой отдергивалъ трепака; прочіе—мужчина спорилъ съ хозяйкой, а гости щелкали орѣхи. На столѣ стоялъ крашеный жбанъ съ пивомъ, пирогъ съ рыбой, пирогъ съ малиной и еще что-то лежало, что—я не могъ различить издали. Женщины посмотрѣли на меня, присмирѣли; мужчины хохотали.

— Ты ужъ вѣчно что-нибудь состроишь...— сказала недовольно одна женщина, обращаясь къ державшему меня человѣку.

— Ужъ я сказалъ, что позабавлю и исполню... Слышь, что я те прошу... Ну, что теперь у меня въ головѣ сидитъ? — спросилъ онъ меня. Гости присмирѣли, но готовы были разразиться смѣхомъ.

— Хмѣль,—сказалъ я.

Всѣ захохотали.

— Такъ ты думаешь, что моя голова хмѣль?.. Я значитъ хмѣль? Слышите, что онъ сказалъ?..

— Это вѣрно, что хмѣль,—подтвердилъ другой мужчина. Женщины голосили, называя меня прозорливымъ.

— Ну, а вотъ въ ея головѣ, что сидитъ?—спросилъ онъ меня, показывая на одну толстую женщину.

Я подумалъ и сказалъ: «Пѣсни, потому-что она во все горло поетъ».

Опять всѣ захохотали, но баба обидѣлась. Мужчины прозвали эту бабу *пѣсней*.

— А въ твоей что сидитъ?

— Пирогъ съ малиной...

Всѣ захохотали.

— Молодецъ, братъ, ты! недаромъ вашего брата на наши капиталы обучаютъ... Дѣло! Ну-ко, братецъ, дергани съ дорожки-то,—сказалъ онъ, трепля меня по затылку и подвелъ къ столу. Гостьи голосили громко, непріятно для городского уха.

— Очень жарко, пыльно, хозяинъ,—сказалъ я, желая навести его на разговоръ.

— Вотъ я те попочтую... — Онъ налилъ мнѣ стаканъ водки, я выпилъ, онъ еще налилъ, я сталъ отказываться, но онъ погрозилъ за воротъ вылить. Я закусилъ пирогомъ съ рыбой.

— Степка! играй!—крикнулъ хозяинъ.

Заиграла гармоника; бабы, подобравъ подолы, принялись плясать такъ, что половицы трещали, платки спадали съ головы, а одна такъ даже вскрикивала отъ удовольствія; «и-ихъ ты!». Хозяинъ обхватилъ меня и сталъ плясать. Меня стала отнимать молодая женщина. Началась свалка, однако хозяинъ меня отпустилъ. Женщины, окруживъ меня, сцѣпились руками, топтались, кружились и напѣвали, дѣлая мнѣ глазки и толкая другъ друга: «ужъ я золото хороню, хороню». Ямщики, стоя у дверей, глядѣли на эту сцену и хохотали.

— Поповичъ-то! камедь!..

— Цѣлуйте его, бабы!..

Начали меня цѣловать; отъ одной пахло чеснокомъ, другая отрыгивала чѣмъ-то кислымъ. Ямщики хохотали; бабы пустились въ плясъ, припѣвая громко:

Попьемъ-ко мы!
Посидимъ-ко мы!
Право есть у кого!
Право есть у него!

Вдругъ одна женщина задаетъ мнѣ загадку:

— Отгадай, расцѣлую: лѣтомъ въ шубѣ, зимой въ шабурѣ?—и она подмигнула.

— Будто не знаю?—сказалъ я.

— Нѣтъ, не знаешь.

— Лѣсъ,—сказалъ я.

— А въ лѣсу что дѣлаютъ?

— Грибы сбираютъ, малину!

Лицо женщины покраснѣло, она захохотала; ее стали уличать въ чемъ-то нехорошемъ.

— Петръ Митричъ, иди чай пить?—сказалъ мнѣ Верещагинъ.

— Не хочу,—сказалъ я и не пошелъ.

Гости хохотали, разговаривали, прощались. Я вышелъ на крылечко и закурилъ трубку.

Скоро гости прошли мимо меня и весело распростились со мной, а женщина, загадавшая мнѣ загадку, въ шутку поцѣловала меня и убѣжала.

Богомолки сидѣли за воротами, потому-что ямщики не пустили ихъ въ избу. Послѣ обѣда, который прошелъ довольно весело, я вышелъ за ворота съ трубкой. Тамъ, противъ нашего постоялаго дома, шесть дѣвицъ играли въ мячикъ съ четырьмя парнями. Это были дочери и сыновья содержателей постоялыхъ дворовъ и отличались отъ прочихъ крестьянскихъ дѣтей дородствомъ, красотой и костюмомъ. Такъ, дѣвицы были всѣ въ ситцевыхъ платьяхъ, а на одной высокой, семнадцатилѣтней, черноволосой было даже шерстяное платье. Дѣвицы играли умѣючи въ мячикъ, ловко отворачивались отъ ударовъ мячикомъ, скоро бѣгали, и ихъ очень забавляло то, какъ бы имъ попасть въ парня. При моемъ появленіи на улицѣ, онѣ сперва смѣшались, но потомъ стали еще усерднѣе играть, какъ бы стараясь доказать, что онѣ не ударятъ лицомъ въ грязь. Играя онѣ часто посматривали на меня, потомъ вдругъ собрались въ кучку, парни отошли прочь, а дѣвицы стали шептаться, потомъ захохотали и начали играть безъ парней. Вдругъ мячикъ упалъ къ моимъ ногамъ. Я не трогался. Дѣвицы разсыпались, но подойти ко мнѣ не рѣшались. Стали толкать другъ друга.

— Не съѣмъ. Подходите хоть всѣ,—крикнулъ я.

— Слышь, стеклянны шары всѣхъ зоветъ... Дунька, иди, ты бойчѣе...

— Не схожу что ли?

Одна дѣвица въ голубомъ платьѣ бойко подошла къ мячику и вдругъ бросила его въ меня; а сама кинулась бѣжать, но я успѣлъ попасть мячикомъ ей въ спину.

— Свинья!—сказала дѣвица. Прочія хохотали и кричали мнѣ:

— Очкастый! очкастый! стеклянны шары!

— Примайте что ли играть-то?—крикнулъ я.

Дѣвицы захохотали и закрыли лица ладонями. Потомъ сѣли всѣ на завалину и запѣли, но пѣли на одинъ голосъ, стараясь перекричать другъ друга. У воротъ въ это время сидѣли старики и бабы съ грудными ребятами и безъ ребятъ и надзирали за дѣтьми. Впрочемъ, по случаю праздника имъ предоставлена была полная свобода. Парней на улицѣ не было; поэтому дѣвицы и пѣли, но одна дѣвица крикнула: «Степа-анъ!». За это подруги ударили ее по плечу, но дѣвица не покраснѣла. Явился парень лѣтъ восемнадцати, одѣтый франтовски, игра началась и ужъ устраивалось такъ, что бросать мячъ приходилось только Степану или только высокой дѣвицѣ въ шерстяномъ платьѣ, и играли только они двое, что не нравилось остальнымъ, но никто имъ не мѣшалъ. Если Степанъ попадалъ въ спину дѣвицы, что ей, впрочемъ, нравилось, то она вскрикивала: «ахъ ты подлецъ!»; если дѣвица попадала въ Степана, то онъ грозился: «ужъ я же те, толстопятую!»...

Солнышко сѣло; стало прохладно. Нашъ обозъ тронулся.

— Поповичъ! гдѣ стеклянны шары?—кричали дѣвицы. Я былъ во дворѣ и вышелъ. Въ меня попали мячикомъ, я забросилъ мячикъ въ чей-то дворъ, мнѣ пожелали «околѣть»; я сѣлъ въ свое гнѣздо. И по мѣрѣ того, какъ мы проѣзжали домъ за домомъ, кучка за кучкой сидѣвшихъ людей около своихъ домовъ исчезала изъ глазъ, мнѣ дѣлалось невыносимо скучно. Мнѣ хотѣлось пожить здѣсь, приглядѣться къ здѣшней жизни.

— Богатый здѣсь народъ?—спросилъ я Верещагина.

— Откуда ему богатымъ-то быть? Такъ живутъ, какъ и всякіе, особливо нынѣ не наживешь много-то денегъ. Не стара пора.

— А прежде чѣмъ лучше было?

— Хлѣбъ былъ дешевле... А теперь вонъ съ меня сходитъ оброку да другихъ повинностей чуть не семьдесятъ рублей. А прежде и тридцати не выходило.

— Ты, должно-быть, всю мѣстность на протяженіи тракта знаешь?

— О, будь ты за-болотцомъ! Какъ не знать-то, коли съ дѣтства хожу? Эти деревни всѣ наперечетъ знаю, а постоялые дворы чуть ли не всѣ испробовалъ—все одно что одинъ.

— А что если желѣзную дорогу построятъ?

— Не построятъ; это только пугаютъ.

— Ну, а если предположить, что построятъ?

— Ну, тогда мы въ конецъ разоримся. Мы только тѣмъ и кормимся, что съ обозами ходимъ. Къ другимъ ремесламъ мы не способны, что есть и съ пашнями у насъ жены да работники управляются. А будь это дѣло—ну, и пойдемъ по міру.

— Есть ли хоть польза-то теперь?

— Какая польза! кое-какъ на харчи сходится,— самъ подумай: у меня жена, дѣти, ну, и содержаніе лошадей что стоитъ.

Я начиналъ привыкать къ обозной жизни и вполнѣ понялъ ямщиковъ. Они, съ дѣтства пріученные къ обозной жизни, такъ сказать, закалили себя къ этому занятію: имъ не страшенъ былъ зной, морозъ, не злилъ дождь, они привыкли къ нимъ и только говорили, что лѣтомъ ѣздить лучше, потому что можно итти безъ зипуна и безъ шапки, днемъ можно спать и безъ сапогъ, а зимой нужно кутаться въ полушубокъ, да еще сверхъ полушубка нужно одѣвать азямъ (родъ зипуна), нужно часто грѣться, т.-е. выпивать на свой счетъ водки. Виды съ горъ ихъ теперь уже нисколько не интересуютъ, потому-что они уже примелькались, и въ нихъ они не видятъ для себя никакой пользы. У нихъ даже сложилась совсѣмъ иная жизнь,—жизнь обозная: въ своихъ деревняхъ, селахъ они были только гостями и гостили много-много раза по четыре въ году, да и тутъ имъ скучно было, тянуло на большую дорогу, гдѣ раздолье, хорошо поятъ, кормятъ, много пріятелей, гдѣ только одна забота: благополучно доставить кладь и получить рублей пятнадцать денегъ. Они не интересовались ни политикой, не тревожили себя пустыми вопросами; вся ихъ мозговая дѣятельность сосредоточивалась только на обозной жизни, а разговоры объ урожаяхъ и другихъ насущныхъ предметахъ были для нихъ только препровожденіемъ времени. Дорогой, когда они шли, они больше молчали, но, что они думали, того никто не знаетъ, а вѣроятно ихъ мысли были одинаковы у всѣхъ. Были ли они поэтами въ душѣ, —я сказать не могу, только можно сказать, что они болѣе сообразительны и толковы, чѣмъ другіе ямщики; у нихъ еще много поговорокъ подъ рифму, и эти поговорки въ видѣ остротъ высказываются только на-веселѣ.

О дальнѣйшемъ путешествіи писать не буду, потому-что оно однообразно, только развѣ упомянуть о томъ, что мои петербургскіе сапоги послѣ двухъ-суточнаго странствованія пришли въ такое состояніе, что я въ нихъ не могъ ступить и шагу — стоптались очень и продрались въ двухъ мѣстахъ на каждомъ сапогѣ, и я купилъ въ Кунгурѣ мужицкіе, которые тоже привелось чинить въ кузницѣ, потому-что гвозди проходили насквозь и ихъ присутствіе послѣ десятиверстнаго странствованія стало весьма непріятно, а я положительно хромалъ на обѣ ноги. Кормили меня хорошо, и я, сознаюсь, наѣдался до того, что едва могъ передвигать ноги. И все это удовольствіе мнѣ стоило 20 — 15 к., тогда какъ въ передній путь златоустовскій смотритель станціи, знакомый мнѣ человѣкъ, за два дрянныхъ блюда взялъ съ меня сорокъ копеекъ. Къ обозной жизни я привыкъ совсѣмъ на пятыя сутки вѣроятно потому, что до Перми оставалось немного; да и самъ Верещагинъ болѣе и болѣе становился веселѣе, попѣвалъ веселыя пѣсни.

— Слава Богу, скоро доѣдемъ!—говорилъ онъ.

— Домой, поди, съѣздишь?

— Надо... Ужъ я ей, будь она за-болотцомъ!— говорилъ онъ и дѣлалъ руками штуки и лицомъ гримасы.

— Совѣтно ты живешь съ хозяйкой?

— И!.. Она у меня баба золотая. Вотъ баба?! и нужды нѣтъ, что третья. Молодая и славная.

— Поди-ко, вѣдь ей скучно?

— Чего ей скучать-то: знаетъ, что я съ обозами хожу и домой пріѣзжаю не съ пустыми руками. Работа тамъ есть у нея, чего еще ей надо?

Виды тоже описывать не стану, потому-что они до того разнообразны и неуловимы на мѣстахъ, что ихъ едва ли кто сумѣетъ вѣрно срисовать; да и мнѣ на мѣстахъ или на интересныхъ пунктахъ и въ голову не приходило набрасывать карандашемъ хотя одинъ клочекъ интересной для перваго впечатлѣнія мѣстности, а въ памяти у меня такъ разсѣяны эти впечатлѣнія, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать или не искажать природу. Не мѣшаетъ упомянуть о Суксунской горѣ, которую ямщики недолюбливаютъ зато, что она очень крута. Виды съ нея очень хороши, и ее видно за нѣсколько десятковъ верстъ, но объ ней уже упоминалъ Максимовъ въ книгѣ: «Поѣздка на Востокъ». Только, описывая ее, онъ упустилъ изъ виду то, что не весь Уралъ таковъ. Кромѣ Суксуна, близъ Кунгура есть еще двѣ горы, стоящія на тракту другъ противъ друга,—Иренская и Бакинская, такъ что съ одной спускаются — на другую поднимаются, а около одной—рѣчка съ очень холодною водой. Черезъ эту рѣчку перекинутъ мостъ, но этотъ мостъ почему-то ежегодно починивается, и обозы переходятъ рѣчку бродомъ. На горахъ большія пространства степей, и подъ Кунгуромъ насъ припугнула гроза, о которой говорить тоже не стану: нужно быть на горѣ, чтобы имѣть понятіе о грозѣ.

На пятыя сутки мы ночевали на большой дорогѣ. Мы ночевали такимъ манеромъ уже два раза, и на это у ямщиковъ были свои уважительныя причины. Лошади, конечно, были отпряжены; къ ихъ горламъ были привѣшены колокольцы, и онѣ ходили у изгороди, доставая высокую еще нескошенную траву, но впрочемъ недалеко отъ своихъ возовъ. Одинъ ямщикъ не спалъ; прочіе хотя и спали на травѣ около своихъ возовъ, но, какъ обыкновенно у нихъ водится, при каждомъ сильномъ стукѣ, при сильномъ звяканьи колокольцевъ, они поднимали головы. А раньше я забылъ сказать, впрочемъ, мнѣ тогда еще не приводилось замѣчать, что ямщики, лежа на возахъ и въ телѣгахъ, при каждой остановкѣ лошадей просыпались и поднимали голову. Ужъ такая привычка. Двѣ богомолки

ѣхали тоже съ нами до Кунгура, но я къ нимъ не питалъ особеннаго уваженія и особенно съ тѣхъ поръ, какъ въ Златоустѣ онѣ развѣсили сушить свое бѣлье, и я убѣдился, что онѣ не такъ бѣдны, какъ себя выказывали: у нихъ были даже шелковыя платья, и мелькомъ я видѣлъ у нихъ золотыя серьги и кольца. Между собой онѣ были дружны, но въ Кунгурѣ поссорились, и жена мастера скрылась, не доплативъ ямщику денегъ; осталась только одна крестная мать моей мнимой жены.

Я спалъ крѣпко, несмотря на холодъ. Вдругъ слышу—ямщики кричатъ. Я открылъ пальто.

— А, ты грабить!

— Бей ее, проклятую.

— Нѣтъ, постой. Бить не надо; надо дѣло распознать, — кричали ямщики. Я подошелъ къ нимъ. Моя крестная мать лежала на травѣ съ связанными руками и ногами крѣпко-на-крѣпко.

— Что такое случилось? — спросилъ я ямщиковъ, собравшихся въ кучу и разбирающихъ узлы женщины.

— Да что, воровка! По запазухамъ чужимъ лазитъ, проклятая, чтобъ ей семь чертей!.. Вонъ Петро углядѣлъ. Подошла она къ Ѳадѣю Степанычу и засунула руку въ сапогъ. Вонъ оно что!

— Что жъ вы теперь думаете дѣлать?

— А обыщемъ. Вонъ Пермяковъ все жаловался: два, говоритъ, цѣлковыхъ потерялъ.

— Вотъ лопни мои глаза, чтобы я соврал... Ничего не покупалъ, никому не давалъ, а денегъ не стало,—жаловался рыжебородый ямщикъ.

— Нашелъ! Яковъ?! Это не твой ли платъ-то?

— Мой, мой! ищи, нѣтъ ли Пермякова-то?

— Это не твой ли Петръ Митричъ?

— Я подошелъ; дѣйствительно, бѣленькій — платокъ мой, но я сказалъ, что я ей подарилъ.

— Зачѣмъ дарить? Мы не хотимъ! Возьми!..— галдѣли ямщики.

Я взялъ.

Нашли и Пермяковскій платокъ. Стали допрашивать женщину.

— Ну, сознавайсь! Зачѣмъ ты воровала?

— Простите, ребятушки! Богъ попуталъ... впередъ не буду.

— А билетъ есть?

— Въ тряпкахъ...

— Гдѣ? Ну-ко?

— Тамъ.

— Да ты насъ не тяни, намъ ѣхать нужно.

— Потеряла ребятушки... Пустите... я уйду отъ васъ.

— Ну, ладно. Ребята, завязывайте узелъ. Гляди, стерва, не будь на насъ въ претензіи, что мы тебя ограбили,—проговорилъ спокойно подрядчикъ.

Женщину подняли; она плакала. Одинъ ямщикъ складывалъ и увязывалъ ея вещи.

— Ведите ее, голубушку, въ лѣсъ,—говорилъ опять спокойно подрядчикъ.

Четыре ямщика повели женщину въ лѣсъ.

— Это зачѣмъ вы ее въ лѣсъ-то увели? — спросилъ я ямщиковъ.

— Поучить маленько, постегать, чтобъ не баловалась,—объяснили они мнѣ. Черезъ нѣсколько времени откуда-то слышались стоны, но по дорогѣ никто не ѣхалъ, а черезъ четверть часа вышли изъ лѣсу мужики и женщина.

— Ну, теперь будешь воровать?—спросилъ ее подрядчикъ.

Женщина поклонилась въ ноги и сказала:

— Дозволь, батюшка, мнѣ доѣхать.

— Нѣтъ, ужъ кончено: сиди здѣсь, коли не умѣла ладомъ ѣхать. Такъ мы и покинули женщину на тракту. Ямщики говорили, что вытегать вора самое благое дѣло, потому-что они люди дорожные, представлять вора у нихъ времени нѣтъ, да и онъ еще ускользнетъ, а какъ дашь острастку, такъ впередъ не посмѣетъ по чужимъ сапогамъ да по запазухамъ лазить.

На седьмыя сутки мы пріѣхали въ Пермь. Голова и бока у меня болѣли; лицо было точно въ пеплѣ, а въ волоса даже частый гребень не лѣзъ, и я кое-какъ отмылъ въ банѣ песокъ изъ головы. Зато мнѣ поѣздка изъ Екатеринбурга стоила только шесть рублей.

Черезъ недѣлю я шелъ на пароходъ. На одной улицѣ меня окликнулъ Верещагинъ.

— Петръ Митричъ!

— А, здравствуй, Семенъ Васильичъ. Куда?

— За кладью; въ Тюмень завтра ѣду.

— Что мало погостилъ дома-то?

— Будетъ... всѣ здоровы, ну и слава Богу. Счастливо оставаться.

— Прощай.

Мы простились за руки. Онъ спросилъ меня, когда я поѣду въ *Екрембургъ*, я сказалъ, что не знаю.

— Хорошо, кабы ты опять со мной ѣхалъ. Ну, прощай.

Мы разстались; онъ часто оборачивался, и мнѣ отчего-то скучно сдѣлалось; такъ и хотѣлось опять съ нимъ же ѣхать по Уралу, только пора было и въ Питеръ отправляться.

Никола Знаменскій.

... Прежде всего я долженъ сказать вамъ, господа, что Никола Знаменскій, мой достоуважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо дѣйствительное. Я знаю, что всякій изъ васъ скажетъ, что этотъ разсказъ небывальщина, и въ настоящее время пошлая вещь; но я васъ предупреждаю: многіе изъ васъ такихъ людей, можетъ-быть, не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человѣкѣ. Мнѣ, изъѣздившему и прожившему въ разныхъ захолустьяхъ разныхъ сѣверныхъ губерній, приходилось видѣть и послѣ смерти моего отца людей покрасивѣе его. А надо вамъ замѣтить, мой отецъ умеръ, кажется... кажется, назадъ тому лѣтъ тридцать. Знаю я также, что многіе изъ васъ вовсе не бывали въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ и не имѣютъ никакого понятія о тамошнемъ кли-

матѣ и жителяхъ. Когда я, по окончаніи курса въ семинаріи, поступилъ въ академію, то надъ моей походкой и произношеніемъ долго смѣялись товарищи, удивляясь въ то же время моему тѣлосложенію и силѣ. Да! та ли еще была бы у меня сила, если бы я былъ Никола Знаменскій... И самому мнѣ, когда я вспомню прошлое, особливо сельскую жизнь, какъ будто не вѣрится, а между тѣмъ такіе люди были, и люди эти честные, добрые, но устроившіеся подъ вліяніемъ забіенной среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминалъ отца, мнѣ смѣшно казалось. Даже разъ за обѣдомъ вдругъ захохоталъ, что̀ удивило инспектора, и за что я получилъ хорошую кашу изъ березы. Но теперь я думаю такъ, что отецъ нисколько не былъ виноватъ въ томъ, что на нашъ взглядъ былъ смѣшонъ; я былъ бы въ тысячу разъ виноватѣе его, если бы послѣдовалъ его примѣру. Впрочемъ, обо мнѣ начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагамъ благочиннаго, назывался «іерей Николай Сидоровъ Поповъ», а въ деревняхъ, въ Знаменскомъ селѣ, Березовскаго уѣзда, Холодной губерніи, назывался Никола Знаменскій, такъ же, какъ и дѣдъ мой, вѣроятно потому, что въ селѣ нашемъ была знаменская церковь. Отъ этого, при поступленіи моемъ и брата моего Ивана въ семинарію, вышло недоразумѣніе, потому-что отецъ мой никакъ не хотѣлъ согласится, что онъ Поповъ. Когда ему говорили: «да вѣдь ты Поповъ?»—онъ говорилъ: «Знамо попъ, а парнишки что за попы? Экъ како слово сказано...» Такъ меня назвали Поповымъ, а брата Ивана — Знаменскимъ. Онъ и на бумагахъ подписывался просто: *попъ Никола Знаменскій*, на что, впрочемъ, благочиннымъ мало обращалось вниманія.

Лицомъ, походкой, одеждой и словами мой родитель нисколько не отличался отъ крестьянъ Березовскаго уѣзда. Лицо у него было желтое, глаза большіе, съ большими рыжими бровями, которыя росли въ разныя стороны и потому придавали лицу угрожающій видъ; носъ широкій, а когда онъ хохоталъ, то ноздри дѣлались очень широки, оттопыриваясь кверху; борода и волосы на головѣ были пепельнаго цвѣта, большіе, какъ у крестьянъ, и никогда не чесались. Отецъ мой не любилъ большихъ волосъ и всегда смѣялся надъ тѣми, которые носили косички: «чортъ—не чортъ, чучело не чучело...», говаривалъ онъ и плевалъ въ сторону. Роста онъ былъ средняго, но мужчина здоровенный; говорилъ басомъ, и его пьянаго далеко было слышно. У него была только одна ряса изъ зеленаго сукна, доставшаяся ему отъ тестя. Эту рясу онъ надѣвалъ только въ Пасху, въ Тройцу, въ Николинъ день, въ Рождество, да когда ѣздилъ въ городъ къ благочинному, а въ остальное время она висѣла въ чуланчикѣ, гдѣ крысы порядочно ее портили каждый годъ, и моей матери, забывавшей о ней въ обыкновенное время, было не мало хлопотъ законопатить ее, что она исправляла посредствомъ холста или просто тряпокъ. Носилъ онъ лапти собственнаго издѣлія и крестьянскую шапку, сшитую изъ бараньей шкуры съ шерстью, и эта шапка, ношенная имъ не одинъ десятокъ лѣтъ, была очень тяжела отъ починиванія и была ему очень дорога. Другого одѣянія на ноги и на голову отецъ не имѣлъ. Зимой и лѣтомъ онъ носилъ длинный полушубокъ, состоящій изъ телячьей, овечьей и козлиной шкуръ съ шерстью, съ тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а лѣтомъ снаружи. Этотъ полушубокъ былъ ужасно тяжелъ для насъ восьмилѣтнихъ мальчугановъ, и мы удивлялись, какъ это отецъ можетъ носить такую тяжесть. Былъ у него и коричневый армякъ, но онъ былъ отцу дороже рясы и надѣвался очень рѣдко.

По этимъ описаніямъ вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отецъ никогда не снималъ съ себя портретовъ, никогда не рисовался, а постоянно хлопоталъ. Представляйте себѣ его сидящимъ въ кабакѣ въ полушубкѣ, опоясанномъ веревкой съ лыка, съ рукавицами или безъ рукавицъ, въ лаптяхъ, съ перевязанными до колѣнъ штанинами лычной бичевочкой, и разсуждающимъ съ мужиками о разныхъ разностяхъ, а преимущественно о ловлѣ звѣрей и птицъ; или представляйте его отправляющимся съ дьячкомъ Сергунькой въ лѣсъ въ такой же одеждѣ, только у отца на спинѣ болтается мѣшокъ съ хлѣбомъ, солью и ножикомъ, въ правой рукѣ чугунный ломъ, которымъ онъ подпирался, какъ палкой, а за веревку, опоясывавшую полушубокъ, вдѣтъ топоръ съ топорищемъ—это онъ идетъ бить медвѣдей; или идетъ отецъ съ Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечахъ, и на этой палкѣ виситъ убитый медвѣдь, ломъ затянутъ за веревку, топоръ заткнутъ за опояску дьячка Сергуньки; представляйте его, пожалуй, ругающимся съ мужиками или звонящимъ въ колокола на соборной колокольнѣ въ губернскомъ городѣ Холодѣ, вмѣстѣ съ дьячкомъ Сергунькой... Но все-таки имѣйте въ виду то, что онъ умеръ назадъ тому тридцать лѣтъ...

Уѣздъ, въ которомъ жилъ мой отецъ, одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ въ Холодной губерніи, какихъ уѣздовъ еще очень много въ другихъ губерніяхъ, а народъ и теперь еще тамъ *дикій*. Хлѣбъ отъ холода не ростетъ. Поэтому крестьяне занимаются звѣринымъ промысломъ и звѣрей продаютъ въ ближайшемъ городѣ Березовѣ купцамъ, которые такъ ловко надуваютъ простаковъ, что они всю жизнь не могутъ выйти изъ кабалы и долговъ купцамъ. Напримѣръ, крестьянинъ привозитъ къ купцу лося, купецъ даетъ за лося четвертакъ или пудъ ржаного хлѣба и проситъ крестьянина привезти ему двухъ оленей. За это онъ даетъ крестьянину впередъ еще пудъ муки. Крестьянинъ три мѣсяца гоняется за оленями и, привезши оленей или ихъ шкуры, получаетъ отъ купца выговоръ, что не исполнилъ порученія въ срокъ; а такъ какъ крестьянину нуженъ хлѣбъ, то онъ исполняетъ на купца за пудъ муки какую-нибудь работу, напримѣръ, работаетъ въ кожевенномъ заводѣ. Или, изъ-за хлѣба, крестьяне нанимаются рубить лѣсъ для

березовскаго купца и этотъ лѣсъ весной сплавить по рѣкѣ Бурой къ такому-то мѣсту. Купецъ подряжаетъ знаменскаго старосту или состоятельнаго крестьянина такъ: за пятерикъ дровъ даетъ ему рубль, за десять бревенъ полтинникъ, а этотъ крестьянинъ подряжаетъ крестьянъ уже на свой счетъ и даетъ половину. За сплавъ лѣтомъ купецъ давалъ одному человѣку восемь или пять рублей, если больше пятисотъ верстъ, а подрядчикъ половину. Но часто бывали несчастія такого рода, что отъ прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты въ бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрядчика на всю жизнь, такъ же, какъ и подрядчикъ купцу. Другіе жители пробиваются тѣмъ, что продаютъ въ Березовѣ кадки, масло, яйца, телятъ и т. п. съ большими убытками, потому-что въ городъ наѣзжаетъ всегда въ базарные дни много бѣдныхъ крестьянъ, у которыхъ горожане всегда покупаютъ съ безстыднымъ выторговываніемъ.

Въ нашемъ Знаменскомъ селѣ въ то время, когда мнѣ былъ восьмой годъ отъ роду, было двадцать домовъ, въ которыхъ жило двадцать пять мужчинъ, пятьдесятъ девять женщинъ и пятьдесятъ одинъ человѣкъ молодого поколѣнія. Мужчинъ сравнительно съ женщинами было мало потому, что они жили въ разныхъ мѣстахъ на заработкахъ. Это населеніе впослѣдствіи постоянно убывало, и теперь, когда я былъ тамъ въ прошломъ году, тамъ состоитъ на лицо только восемь домовъ съ тридцатью человѣками всякихъ возрастовъ. Причина этому та, что люди въ голодные годы мѣшали въ муку кору или ѣли одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы въ другія мѣста. Жители при мнѣ были крещеные и некрещеные: къ первымъ принадлежали православные государственные крестьяне, которыхъ было только шесть семействъ; а ко вторымъ — тептери и черемисы; изъ нихъ было, впрочемъ, нѣсколько и крещеныхъ, но они все-таки по своему молились своимъ богамъ; у нихъ были свои обряды, свои понятія.

Само собою разумѣется, отца нельзя назвать развитымъ человѣкомъ, потому-что всѣ его способности тратились на то, какъ бы ему угодить благочинному, убить медвѣдя, настрѣлять глухарей, какъ бы достать больше хлѣба, и какъ бы лучше обругать дьячка Сергуньку, или сдѣлать такъ, чтобы Сергунька и всѣ люди, повыше его, не ругали его. Разъ онъ хмѣльной пьяному Сергунькѣ обрѣзалъ косу за то, что тотъ упрекнулъ его тѣмъ, что онъ въ лѣсу съ дороги сбился.

Отецъ мой, какъ я вамъ уже говорилъ раньше, былъ здоровенный мужчина. И было отъ чего! Возня съ медвѣдями, которыхъ онъ любилъ больше всего на свѣтѣ, подвижная жизнь — придавали ему бодрости и силы: онъ никогда не хварывалъ, не жаловался на слабость зрѣнія, пилъ пиво и брагу цѣлыми жбанами, ѣлъ за троихъ, спалъ подолгу и такъ крѣпко, что его трудно было разбудить. Одинъ разъ онъ, хмѣльной, за что-то избилъ восемь черемисовъ, и всѣ черемисы нашего прихода боялись «знаменскаго Микулы».

Отецъ его былъ дьячкомъ въ томъ же селѣ, обучавшійся чтенію и письму дома и неизвѣстно какимъ образомъ сдѣлавшійся дьячкомъ и какъ справлявшій службу. У этого дьячка, моего дѣда, котораго однако мнѣ не привелось видѣть, было два сына: Николай, мой отецъ, и Семенъ, да еще дочь Матрена. Они кое-какъ выучились писать и читать по церковному у священника, и на этомъ закончилось ихъ образованіе. Когда умеръ мой дѣдъ, отца сдѣлали на его мѣсто дьячкомъ.

Вотъ что говорилъ объ этомъ назначеніи Никола Знаменскій своимъ пріятелямъ:

— Сенькѣ, въ та поры, кажись, было двадцать-первой, али двадцать-два года, а мнѣ пошолъ девятнадцатый (то-есть 20-й), не помню... Сорви-голова былъ этотъ парнишко! Ну, вотъ, теперича, какъ есть помню... Сидимъ мы за столомъ на поминкахъ; попъ Олексѣй и баетъ: а кто, баетъ, изъ васъ, теперича, робята, дьячкомъ хочетъ сдѣлаться? Ну, а намъ, мнѣ да брату, обоимъ хотѣлось дьячками быть, потому, самъ знашь, подати съ дьячковъ не просятъ, жизнь легкая, а что насчетъ оранья — наше дѣло: заоремъ такъ-толи что... Попъ Олексѣй и баетъ: двоимъ негоже, одному нужно... Ну и велѣлъ ѣхать мнѣ да брату въ городъ, къ самому благочинному, и грамотку обѣщалъ дать — это къ благочинному, знаешь... Ну, поѣхали. Я да братъ по лукошку яицъ взяли, ругаться стали дорогой. Сенька баетъ: ты, баетъ, чупарый, тебя не сдѣлаютъ, а меня, баетъ, сдѣлаютъ, потому, у меня, баетъ, въ лукошкѣ два ста девятнадцать-два яйца, а у тебя только два ста... Ну, пришли къ благочинному, рыжій такой, просто разодѣтъ такъ, что и не бай! «Что?» спрашиваетъ это насъ... Такъ и такъ баю; а я, нужды нѣтъ, что Сенька былъ сорви-голова, я все-таки былъ не въ примѣръ бойчае его. «Вотъ тѣ, баю, грамотки отъ нашего попа Олексѣя, дьячкомъ велѣлъ тебѣ меня сдѣлать. За это я тебѣ, батюшко благочинный, лукошко яицъ привезъ». Смѣшно ему что-то стало. А Сенька какъ взглянетъ на меня по-коровьи и скажетъ благочинному: «Вретъ Миколка. Я два ста десятнадцать-два яйца привезъ, а онъ только два ста...» «Ладно» — баетъ благочинный. Ну, и заставилъ онъ насъ читать — прочитали тоже; пѣть заставилъ, а я по церковно-тъ немного смыслилъ... Благочинный и баетъ: ты, батъ, пѣть не умѣешь, а тоже въ дьячки суешься. Ну да, баетъ, ладно: будь дьячкомъ въ селѣ, а ты, баетъ брату, останься въ городѣ, я тебя въ соборъ поставлю. Я, баетъ, отпишу къ архирею и скажу, колды тебѣ пріѣзжать постригаться... Ладно думаю, и диво меня взяло: за что это волосы стричь? Не дамъ. На что изъ-за этого съ попомъ Олексѣемъ дома подрался маленько... Пошли мы съ Сенькой въ кабакъ, Сенька дразнится: что, баетъ, въ городъ, а ты въ село... Ладно, баю, въ городѣ медвѣдевъ нѣтъ, а ты меня хоть зарѣжь, не пойду въ городъ. Потомъ онъ сталъ калякать: я, баетъ, теперь старше тебя, начальство... За это слово я его больно хотѣлъ побить, да на радостяхъ прощенье сотворилъ.

Городъ отъ нашего села былъ въ пятидесяти верстахъ, и туда отецъ ѣздилъ часто съ звѣрями, птицами и рыбой, которыя онъ продавалъ одному купцу или, проще, получалъ отъ купца муку, крупу, соль и порохъ съ дробью. Дядя Семенъ, проживши въ городѣ годъ, значительно пообтерся: носилъ суконный подрясникъ, сапоги, помахивалъ своей головой и косичками, за что отецъ сталъ называть его пучеглазымъ чортомъ. На другой годъ дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился въ домѣ тестя, который кромѣ жены имѣлъ еще трехъ дочерей, ужасно глупыхъ женщинъ, которыхъ мой отецъ не могъ терпѣть и называлъ кикиморами. Особенно онъ ненавидѣлъ ихъ зато, что онѣ называли его неучемъ, сельскимъ дьячкомъ; а со стороны онъ слышалъ, что онѣ называютъ его колдуномъ, потому-что онъ, будто бы, посадилъ имъ по килѣ: у нихъ было по грыжѣ подъ подбородкомъ — мѣстная болѣзнь, происходящая тамъ и теперь отъ нечистоты и вліянія климата.

Церковь въ Знаменскомъ селѣ была открыта при моемъ дѣдушкѣ съ цѣлью обращенія язычниковъ въ христіанство. Первый священникъ былъ молодой, ученый настолько, насколько въ то давнишнее время можно было ожидать отъ человѣка; но народъ не понималъ его словъ и въ церковь не ходилъ, и онъ, промаявшись въ селѣ кое-какъ годъ, уѣхалъ въ другое мѣсто. Послѣ него священникомъ былъ отецъ Алексѣй, при которомъ мой отецъ сдѣлался дьячкомъ; онъ былъ старикъ и скоро умеръ, а на мѣсто его пріѣхалъ отецъ Василій Здвиженскій изъ Рязанской губерніи, гдѣ онъ былъ дьякономъ на причетническомъ окладѣ. Онъ думалъ, что въ нашемъ краю жить хорошо, но ошибся.

Вотъ что разсказывалъ про него мой отецъ.

— Первымъ дѣломъ попъ Василій остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и сталъ думать, какъ бы ему домъ выстроить, да большой, въ пять горницъ... Ну, потомъ и баетъ мнѣ: подико завтра — кличь крестьянъ въ церковь. — Зачѣмъ?—баю. А по-то, баетъ, нужно... А самъ баетъ не по нашему, а инако, смѣшно, подковыриватъ какъ-то... Ну, утромъ я и скликалъ всѣхъ. Пришли... Ладно. А попъ обѣдню служитъ. Тожно вышелъ на амвонъ и баетъ что-то по бумажкѣ. Поглядѣли на него мужики да бабы, и драло. Попъ догадался. Въ другоредь велѣлъ мнѣ двери запереть, да народу-то пришло поменѣе, куды какъ мало, больше ребятенки... Вышелъ опять попъ и сталъ по бумажкѣ сказывать, изгиляется, и голосъ другой... Ужъ какъ это онъ изгилялся! и руками, и ногами, и головой... Ребятенки хохочутъ, а я имъ грожу; не одного за волосы отвозилъ. А кои постарше были, тѣ пошли къ дверямъ, а я не пущаю и баю: попъ не велитъ пущать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Такъ попъ ничего и не сдѣлалъ. А съ этихъ поръ ни одинъ мужикъ и ни одна баба не стали ходить въ церковь. Только ребятенки и бѣгали помалости. Ну, попъ-то былъ придурай тожно: пошто, баетъ, риза холщевая, надо серебряную — сталъ сборъ съ мужиковъ дѣлать, а у тѣхъ и самихъ-то шишъ. Надо, баетъ, старосту церковнаго — выбрали перваго, что есть, во всемъ мірѣ плута... Ну, мужики и не залюбили его, прятаться стали отъ него. Ну, да онъ и не больно-то ласковъ былъ: брезговалъ мною. Ну, сталъ попъ жаловаться благочинному, да ничего не-взялъ: потому, благочиннаго нужно поблагодарить, а у попа шишъ; попу мужики ничего не даютъ... Вотъ мой попъ и разсердись на благочиннаго и поѣзжай въ губернію къ архирею, а тотъ на него осердился: стричь, баетъ, больно буду... Съ тѣхъ поръ попъ славный сталъ и мужикамъ полюбился, сталъ со мной въ лѣсъ ходить на промыслы, и попивали мы съ нимъ пиво и водку, какъ ни одинъ мужикъ не пивалъ... А то, когда найдетъ на моего попа *благой стихъ*, позоветъ меня да старосту, и пойдемъ служить обѣдню: я часы кое-какъ прочитаю, онъ эктенію скажетъ черезъ *два въ третій* евангеліе прочитаетъ, «Иже херувимы» пропоемъ... Онъ придурай, что ли, былъ — не знаю: какъ я запою: *отложимъ попеченіе*... онъ и плачетъ, плачетъ — что есть, жалко его... Я и баю: чего ты нюни-то распустилъ. Вылѣтай, баю... Ладно, что людевъ-то не было, окромѣ старосты, да и тотъ едва низюкаетъ (дремлетъ).. А попъ черезъ три года, какъ въ село пріѣхалъ, половину-то обѣдни позабылъ, а книжки одново раза подлецы черемисы со всѣми иконами, ризой, поповской рясой, коя въ алтарѣ висѣла, и сосудами растащили, и виноватыхъ не нашли.

Захотѣлось отцу жениться на поповской дочери. Въ это время попъ жилъ уже въ своемъ домѣ.

«Красивая была эта Настька въ та поры,—разсказывалъ отецъ.—Ну, да это что... А то мнѣ любо, что не скалила такъ зубы, какъ городскія дѣвки; дѣвка одно слово работящая. Ну, вотъ я и присталъ къ попу Василью: отдай, баю, Настьку-за меня! Попъ и баетъ: «ты и пальчика, что есть, ея не стоишь». Врешь,—баю. Безъ меня, баю, ты бы кору глодалъ да пальчики облизывалъ. А я тебя стрѣлять научилъ. Отдай Настьку, не то плохо будетъ. «Я, баетъ, за попа отдамъ». Ну, а я въ та поры баской былъ, и Настька со мной ласкова была»...

Жена священника скоро замѣтила, что ласки ея дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее въ отчаяніе, а священника въ ярость. Священникъ какъ-то былъ хмѣленъ, обрѣзалъ дочери волосы, прибилъ и выгналъ ее; дочь убѣжала къ отцу, а у того въ это время былъ уже свой домъ, заключавшій въ себѣ одну избу.

«Пошелъ я къ попу,—говорилъ отецъ:—топоръ для страха взялъ. Прихожу къ нему, онъ жену за косы теребитъ. Вотъ я какъ крикну: видишь это! и показалъ ему топоръ; у попа руки опустились, и языкъ высунулся. А жена его выбѣжала на улку и кричитъ: «ой, попа рѣжутъ! ой, попа рѣжутъ». А я тѣмъ временемъ схватилъ попа и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю... Попъ испугался и кричитъ: «отдамъ! отдамъ!» Врешь?—баю. «Вотъ тѣ Христосъ!»—баетъ. Ну, и начали же мы плясать съ нимъ! Народъ было собрался въ избу, да мы его брагой угостили. А

Настьку, какъ слѣдуетъ по божьему закону, я къ отцу привелъ, и наказъ до свадьбы не обижать ее, а то, Ей-Богу, молъ, косу обрублю и попу, и попадьѣ».

Мой отецъ долго вспоминалъ про свою свадьбу.

«Ужъ такъ-то мы всѣмъ селомъ тѣшились—и не говори! Въ первый день восемь корчагъ пива, да шесть корчагъ браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А ужъ что это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были—страсть. Ужъ нигдѣ не было и не бывать такой свадьбѣ, какая была у Миколки Знаменскаго».

Тетка Матрена вскорѣ послѣ этой свадьбы вышла замужъ за городского дьякона, а такъ какъ отецъ любилъ компанію, то онъ, сломавъ свою избу, пристроился къ дому попа, такъ что изъ двухъ домовъ образовался по внутреннему устройству одинъ домъ, потому-что изъ кухни попа были двери въ избу отца.

Прошло три года послѣ этого. У отца было уже два сына, Иванъ и я, Николай. Послѣ насъ еще рождались дѣти, да умирали.

Отецъ очень хвалился крестинами:

«Ужъ я никогды такъ не рявкалъ, какъ на ванькиныхъ крестинахъ! Ужъ я эту «Вѣрую» лучше всѣхъ откаталъ, а пѣлъ такъ баско, что опосля того и придумать не могъ: на какой это я манеръ пѣлъ толды? На что жена нездорова была, и та хихикала отъ радости и баяла: экой ты у меня пѣтушокъ... А какъ у меня другой сынъ родился, попъ и я хмѣльные больно были. Попъ и даетъ ему свое имя... Нѣтъ, баю, попъ, давай мое!—Нѣтъ, баетъ, не хочу.—А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этого парнишку я самъ назову... Такъ попъ ничего и не сдѣлалъ со мной. Сперва было учнулъ сказывать: крещается рабъ божій Василій, да я крикнулъ: не Васька, а Колька! Колька въ отца пойдетъ. Ну, значитъ, Колька у меня и сдѣлался. Послѣ было хотѣлъ я это имя дать Ванькѣ, а Ванькино Колькѣ, да попъ метрики услалъ къ благочинному».

Вскорѣ послѣ моихъ крестинъ умеръ и знаменскій священникъ: онъ объѣлся грибовъ. Отецъ сильно запечалился, какъ онъ говорилъ. Онъ жилъ дружно съ священникомъ, и священникъ въ ссорахъ всегда уступалъ отцу. Привезъ отецъ изъ города благочиннаго, который въ наше село никогда дотолѣ не заглядывалъ. Подивился благочинный тому, что въ селѣ церковь деревянная, похожая на часовню, нѣтъ колокола, образовъ всего только восемь, риза одна холщевая. Сталъ благочинный служить обѣдню съ соборнымъ городскимъ дьякономъ; на клиросѣ пѣли мой отецъ и дядя, только дядя службу зналъ хорошо и больше заставлялъ отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народа, сошедшагося больше изъ любопытства. Послѣ похоронъ, за обѣдомъ, отецъ сталъ просить благочиннаго сдѣлать его попомъ.

— Да ты, что есть, и часы читать не умѣешь,— сказалъ благочинный.

— Умѣю... А ужъ я тебѣ какъ много буду благодаренъ,—и поклонился отецъ въ ноги благочинному: а это нравилось благочинному.

— Ну, пріѣзжай въ городъ; братъ поучитъ тебя.

— Братъ! Да я ему всѣ волосы выдергаю... Чтобъ ему меня учить!—горячился отецъ. Дядя сталъ подсмѣиваться надъ отцомъ, а когда теща отца дала благочинному тридцать рублей на ассигнаціи, и благочинный сказалъ отцу: «ты будь въ надеждѣ — все сдѣлаю», то дядя сказалъ благочинному:

— Вы неправильно это, не по закону...

— Что?!—спросилъ сердито благочинный.

— Это мѣсто по закону мнѣ слѣдуетъ.

— Ишь какой забіяка! Такъ вотъ тѣ приказъ: быть у брата въ дьячкахъ.

— Упаси меня, мать Пресвятая Богородица, чтобы я съ такимъ лѣшакомъ да въ одномъ селѣ сталъ жить!—закричалъ отецъ.

Когда благочинный легъ спать, то дядя подошелъ къ отцу и, сказавъ ему: «подлецъ!», вдругъ ударилъ его по лицу. Это отца привело въ ярость, но онъ сдержался и вытолкалъ дядю на улицу, сказавъ: «хоть хуже тебя буду, а знаться съ тобой не хочу послѣ этой оказіи».

Съ этой поры отецъ не могъ безъ злобы говорить о братѣ, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отецъ въ городѣ попадался навстрѣчу брату, тотъ плевалъ чуть не въ лицо отцу и обходилъ его стороной, а отецъ пугалъ его кулаками. Семейства отца и дяди не кланялись другъ другу и всегда со злобой разсуждали другъ про друга. Тетку Матрену тоже довели до того, что она перестала ходить къ дядѣ, а соборный дьяконъ, мужъ тетки, такъ давилъ его, что онъ принужденъ былъ переѣхать въ горный заводъ, гдѣ онъ женился и умеръ на сорокъ пятомъ году дьякономъ.

Мѣсяца черезъ два послѣ смерти знаменскаго священника, потребовали отца въ городъ Подгорскъ, отстоящій отъ Березова въ ста верстахъ. Благочинный сказалъ отцу, что его требуетъ архіерей на посвященіе его въ священники. Отецъ очень обрадовался этому, поклонился въ ноги благочинному и два дня бралъ уроки у мужа тетки, но запомнилъ очень немного. Онъ никогда не видалъ архіерея, и его ужасно пугало то, какъ онъ предстанетъ передъ такое лицо. Съѣздилъ онъ въ село за рясой, забралъ всѣ деньги, какія у него были, взялъ съ собой лукошко яицъ, кадушку съ топленымъ масломъ и поѣхалъ въ Подгорскъ, о которомъ онъ зналъ по слухамъ.

Воротился онъ домой черезъ мѣсяцъ, и вотъ что разсказывалъ намъ и чѣмъ хвастался всю жизнь.

«Изъ Березова въ Подгорскъ поѣхали со мной одинъ кутейникъ, востроглазый такой парень, да еще какой-то попъ. Смѣются они надо мной, зачѣмъ на мнѣ армякъ надѣтъ, шапка мужицкая и лапти... Ну, да я ихъ пугнулъ. Всю дорогу они пугали меня архіереемъ, а у меня у самого все нутро всю дорогу ворочало такъ больно, такъ больно... Потомъ, какъ пріѣхали въ этотъ Подгорскъ, я диву дался: городъ

больше Березова, а церквей сколько!.. А я допрежъ думалъ,—только на свѣтѣ и есть одинъ городъ Березовъ... Кутейникъ позвалъ меня къ себѣ, ну я и поѣхалъ, а у него въ горницѣ пятеро кутейниковъ было, да одинъ дьяконъ какой-то. Тутъ я съ ними баско назюзился, потому они мнѣ понравились, и вино у нихъ лучше березовскаго. А утромъ меня растолкали: архирей пріѣхалъ. Иди, покажись ему... Баяли, какъ онъ пріѣхалъ ночью, во всѣ колокола звонили. Ну, просто душа въ пятки ушла! Сталъ запрягать лошадь, такъ не велятъ. Взялъ кадушку масла да лукошко яицъ, забранили: онъ тѣ, баютъ, дастъ за это... Однако я таки понесъ, а онъ жилъ у тамошняго благочиннаго. Ну, просто душа въ пятки ушла! Полѣзаю въ избу. «А гдѣ, баю, владыко?»... А меня ужъ научили, какъ архирея называть, только я первое-то слово не могъ выговорить. Ну, тамъ спросы пошли, хохотали сколь надо мной. Поди, баютъ, къ набольшему дьякону, и дорогу показали. Я пошелъ... Сердитый такой, хайло у него побольше моего...—Что, баетъ, тебѣ?—Я, баю, Никола Знаменскій.—Кто?—спрашиваетъ. Кое-какъ растолковались...—Отчего, баетъ, ты безъ рясы?—Я баю, а пошто ряса?.. Онъ какъ закричитъ; я ему хотѣлъ было дать масла—такъ не беретъ: «Мы, баетъ, эту дрянь не беремъ, намъ баетъ, дѣвать ее некуда. Давай деньги». Ну, далъ я ему десять рублевъ—и спасибо не сказалъ.—Ну, баетъ, я и иду къ самому владыкѣ, айда со мной... Мурашки забѣгали, просто бѣда! и я кое какъ опамятовался, какъ очутился въ хорошей горницѣ. Вотъ горница! и нигдѣ такой я отроду не видывалъ, а этихъ дьячковъ да поповъ—и! бѣда!! А большой дьяконъ даже и не поклонился имъ, такъ и ушелъ въ другую горницу. Вотъ забился я въ уголокъ, боязнь маленько прошла... Дьячки и попы шепчутся, крякаютъ, бумажки читаютъ, деньги считаютъ, а какіе-то баскіе парнишки то-и-дѣло бѣгаютъ по горницѣ; какіе-то кутейники, высокіе и невысокіе, руки въ боки, глаза въ потолоки, ходятъ и покрякиваютъ... Ничего я такого отроду не видывалъ. Ужъ дивился я, дивился, объ архиреѣ позабылъ—больно ужъ баско стоять-то было. Только вдругъ выходитъ изъ дверей набольшой дьяконъ и какъ гаркнетъ—куды тѣ медвѣдь какой: «Николай Поповъ!»... Я вздрогнулъ. Поглядѣлъ на него; а онъ опять: иди сюда... Ну, я просто убѣжать хотѣлъ. Ужъ не помню, какъ я очутился въ пребасской комнатѣ: полъ это, знаешь, свѣтлый, какъ ледъ, а стѣны—и сказать не умѣю... Только вдругъ выходитъ откуда-то монахъ съ большимъ дьякономъ и спрашиваетъ: который?—Этотъ,—указываетъ на меня большой дьяконъ и машетъ мнѣ рукой, а я трясусь, тронуться съ мѣста не смѣю, а онъ машетъ... А владыко идетъ ко мнѣ, я и бухъ въ ноги ему...—Встань, говоритъ мнѣ владыко, а я стукаюсь лбомъ объ полъ, а онъ баетъ: встань... Нечего дѣлать, боязно, а всталъ, онъ меня перекрестилъ... «Умѣешь служить?»—спросилъ онъ меня... Все, баю, умѣю,—а самъ промежъ себя думаю: не спрашивай ты меня ради Христа; Господи Іисусе, спаси-помилуй; большому дьякону всѣ деньги отдалъ... А онъ глядитъ на меня, большой дьяконъ мнѣ глазами мигаетъ а я ни живъ ни мертвъ. Ужъ я, кажись, сколько медвѣдей видѣлъ, а никогда такъ не было боязно, какъ тутъ.—Сколько у васъ въ селѣ прихожанъ?—спрашиваетъ владыко; я плохо понялъ и сбаялъ: чего? Владыко разсмѣялся, а мнѣ легче стало, я ужъ бойчае сталъ.—Кто у васъ прихожане?—У насъ-то?—Да.—А всяки... кто ихъ знаетъ... Потомъ онъ и говоритъ большему дьякону: знаетъ ли онъ службу?—Знаетъ,—сказалъ тотъ и назвалъ его первенствомъ.—Приготовь его... А ты завтра будешь посвященъ въ дьяконы... Я и баю: а что жъ благочинный баялъ: въ попы? А большой дьяконъ и глазами, и ртомъ, и всяко изгиляется, такъ-что мнѣ смѣшно стало. Владыко и баетъ: что съ тобой?—Да вонъ, батюшко-владыко, большой дьяконъ ужъ больно смѣшно глазами да ртомъ изгиляется. Поглядѣлъ на большого дьякона владыко сердито и сказалъ: «завтра ты будешь дьякономъ, а послѣзавтра попомъ»... Я ему опять въ ноги... А какъ вышелъ оттоль, совсѣмъ ровно другой сталъ: весело, не весело, а такъ ужъ что-то особенно, что и сказать не умѣю. А эти дьячки и попы, какъ вороны, стали лѣзти ко мнѣ: «что, баютъ, ничего?.. что сказалъ?». А кои напросились вина выпить.

«Ужъ больно я былъ веселъ, такъ что и объ маслѣ да яицахъ позабылъ. Только у квартиры и вспомнилъ объ нихъ: видно, большой дьяконъ взялъ.

«А въ этотъ день меня славно напоили. Утромъ опять пинками разбудили. Пошелъ въ церковь, народу тьма-тьмущая. У дверей стоятъ архаровцы *) съ большущими ножами **) и то-и-дѣло толкаютъ народъ да бьютъ ихъ кулаками. Меня тоже одинъ ударилъ, да я его такъ треснулъ, что онъ будетъ помнить Николу Знаменскаго. Спасибо попы заступились и втащили меня въ церковь. Попы, знаешь ты, бѣгаютъ, дьячки и дьякона тоже, а на нихъ кричитъ большой дьяконъ. На клиросахъ—это молодые парни—эконькіе и экіе стоятъ, эконькіе мальчуганы въ ризкахъ. Диво! Ну, надѣли на меня ризку (стихарь) и поставили въ уголъ... Просто страсть... Вдругъ попы и дьякона похватали, кто чего могъ, и побѣжали вонъ изъ алтаря, и я за ними, только ничего въ руки не взялъ... Меня было одинъ дьяконъ чуть не ударилъ зато, что я его больно толкнулъ, а другой велѣлъ мнѣ смирно стоять въ алтарѣ... Да я думалъ: это онъ брезгуетъ мной... Не успѣлъ я опомниться, какъ вдругъ запѣли... Ахъ, какъ баско! Я и ротъ разинулъ, только гляжу, это на клиросъ меня и тянетъ за рукавъ дьячокъ, а владыко ужъ посереди церкви стоитъ, одѣваютъ его... И ризъ-то этихъ сколь... А я сталъ въ алтарѣ въ уголъ къ дверямъ и гляжу это въ щелку, какъ одѣваютъ, а большой дьяконъ съ другимъ дьякономъ кадятъ. И диво же мнѣ все, и понять не могу, что пѣвчіе поютъ, а пѣли такъ баско, такъ баско... (и отецъ при этомъ крякалъ). И никакъ я не могъ понять вотъ какого пѣнья, пошто тамъ пѣ-

*) Казаки.
**) Саблями.

ли: *съ полатей на полати* и много разъ, да такъ баско, особливо какъ эти ребятки въ ризкахъ... (и отецъ опять крякалъ, какъ бы желая дать понятіе о пѣніи исполатчиковъ).

«Вотъ молодые дьякона, что архирея одѣвали, повели меня, грѣшнаго человѣка, на середину церкви, да сперва одинъ, потомъ другой, и давай толкать меня въ шею. Я смотрю на нихъ и дивлюсь, а они зовутъ меня въ алтарь. Ну, какъ я пойду, колды въ большія двери попы ходятъ? а большой дьяконъ стоитъ въ большихъ дверяхъ и машетъ меня. Ну, перекрестился и пошелъ... Не оглядѣлся я, какъ большой дьяконъ подвелъ меня къ архирею, а онъ сидитъ... Ничего потомъ не помню, окромя того, какъ вдругъ большой дьяконъ рявкнетъ: «ахъ-ти вошъ!». Ну я, братъ, больно испугался... А штучки-то эти у меня-таки водились. Помню еще, что волоса мнѣ стригли; ну да это куда ни шло.

«Послѣ обѣдни владыко бранилъ, бранилъ меня и все-таки обѣщалъ завтра попомъ сдѣлать, а отъ большого дьякона просто покою не было... На другой день меня съ дьяконами поставили, эктенію заставляли сказывать... Спасибо, дьяконъ, что рядомъ со мной стоялъ,—сказалъ, да и пѣвчіе скоро пѣли... Не легко, братецъ ты мой, попомъ сдѣлался... Владыко опять бранилъ меня и большого дьякона, зачѣмъ онъ не выучилъ меня, а пѣвчіе толковали, что-де потому меня большой дьяконъ не выучилъ, что я мало далъ ему денегъ... Мало? десять-то рублевъ, да кадушку масла, да лукошко яицъ?.. Пѣвчіе да дьякона эти разные все просили у меня денегъ—да гдѣ я ихъ возьму.

«Послѣ этого меня двѣ недѣли учили, да плохо я понималъ. Маялись-маялись и послали домой».

Насъ, ребятъ, не видавшихъ никогда архіерея, очень занималъ и удивлялъ этотъ разсказъ.

Изъ Подгорска отецъ привезъ въ Знаменское село дьячка Сергуньку, который служилъ тоже въ какомъ-то селѣ этого уѣзда и который архіерея тоже видѣлъ въ первый разъ. Ему давали стихарь, и такъ какъ отецъ съ нимъ жилъ на одной квартирѣ, то они сошлись, а такъ какъ Сергунька былъ холостой человѣкъ, то отецъ сманилъ его къ себѣ: «мы вмѣстѣ въ лѣсъ будемъ ходить»,—говорилъ отецъ Сергунькѣ, любившему стрѣлять птицъ.

Свою обязанность отецъ зналъ плохо, а по книжкѣ читалъ еще того хуже; дьячокъ хотя и зналъ свое дѣло, но лѣнился и, если когда служилъ съ отцомъ, то кричалъ: «не такъ», но отецъ его не слушалъ.

Съ самаго начала отецъ объявилъ крестьянамъ, что онъ попъ, и просилъ ихъ итти въ церковь. Крестьянамъ хотѣлось посмотрѣть, что будетъ дѣлать въ церкви Никола Знаменскій, котораго они любили, и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто морошки, кто соленыхъ груздей, кто яицъ и т. д. Каждый, принесшій что-нибудь отцу, спрашивалъ:

— Такъ итти?

— Какъ хошь. А я пѣть стану. Баско спою, какъ у набольшаго попа поютъ,—и онъ разсказывалъ архіерейскую службу, насколько понялъ.

Церковь была полна, отецъ читалъ громко, пропуская то, чего не могъ разобрать. Когда онъ кланялся народу или кадилъ, то кто-нибудь кричалъ:

— А мнѣ что не кланяешься?

— Погоди и тебѣ будетъ, не всякое лыко въ строку,—отвѣчалъ отецъ.

На другое воскресенье въ церковь пришло человѣкъ пять; и третье и четвертое воскресенье отецъ пробылъ въ лѣсу.

Къ нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отецъ, ни дьячекъ не получали никакого жалованья; поэтому приходилось жить приношеніями; но приношенія дѣлались только въ такомъ случаѣ, если отецъ гналъ народъ въ церковь или пріѣзжалъ къ крестьянамъ съ крестомъ и святой водой, да придирался къ тому, зачѣмъ язычники обряды по своему справляютъ. Впрочемъ, отецъ служилъ только въ большіе праздники, которые чтилъ самъ.

Онъ ужасно не любилъ черемисовъ зато, что они воруютъ, и потому сильно налегалъ на нихъ, требуя, чтобы они молились и справляли обряды по-христіански, и дѣлалъ съ ними шутки такого рода.

Приходитъ онъ одинъ разъ къ черемису и спрашиваетъ:

— Гдѣ образъ?

— А тебѣ что?

— А ты крещеный?

— Крещеный.

— Ахъ ты, ватарашка! Куда ты образъ дѣлъ? Сейчасъ позову старосту... Въ острогъ онъ тебя свезетъ.

А отецъ и самъ не зналъ, что такое острогъ. Онъ только слыхалъ, что острогъ—нехорошая штука.

Черемисъ видитъ, что одному ему съ отцомъ не справиться, достаетъ изъ-подъ лавки образъ и нехотя вѣситъ его въ уголъ.

— Ну, молись!

Черемисъ не молится.

— Вотъ такъ молись,—перекрестился отецъ и поклонился.

Черемисъ улыбается. .

— А! ты такъ? пойдемъ къ старостѣ!.. Тебѣ святой ликъ калѣчить? За что ты глаза-то ему скулупалъ? Айда!—и отецъ тащитъ черемиса.

Черемисъ боится старосты, который отдуетъ его и заставитъ работать на себя. Обѣщался онъ отцу молиться и поросенка далъ.

На другой день отецъ условился съ дьячкомъ, чтобы тотъ сталъ у угла дома на улицѣ и отвѣчалъ на его слова. Барыши они условились дѣлить поровну и пошли вечеромъ.

Сталъ дьячекъ непримѣтно у угла избы, а отецъ входитъ въ избу и видитъ, черемисъ вѣситъ образъ въ уголъ.

— А обманывать?!. ты думаешь, я не знаю, что ты снимаешь образъ?—кричитъ отецъ.

— Упалъ.

— Врешь, собака! А вотъ я спрошу образъ... Черемисъ улыбается.

— Что, смѣшно? Ты не вѣришь, что онъ баетъ?

Черемисъ хохочетъ.

— Такъ вотъ же тѣ сказъ: коли образъ баять будетъ, я всѣхъ твоихъ чучелъ спалю, а ты должонъ всю жизнь молиться ему.

Черемисъ хохочетъ.

Отецъ ударилъ черемиса по лицу и сказалъ:

— Такъ ты, образина ты эдакая, надъ святымъ ликомъ хохотать?.. Никола дождика даетъ, Никола здоровье даетъ, Никола хлѣбъ даетъ, Никола тебя сичасъ громомъ убьетъ...

— Не убьетъ.

А дьячекъ между тѣмъ провертѣлъ въ углу въ пазахъ дыру, какъ разъ около иконы, и кричитъ: «убью!!».

Черемисъ испугался.

— Что? — сказалъ сердито отецъ и кричитъ: скажи, батюшко, Микола угодникъ, пошто онъ тебя снялъ?

— Своимъ богамъ молится, нашу вѣру не любитъ. Скажи ему, что я ему большую болѣзнь пошлю, коли онъ своихъ боговъ не сожгетъ сейчасъ.

— Слышишь?

Черемисъ въ землю сталъ молиться и шепчетъ: «не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога»...

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись...—кричитъ дьячокъ.

— Ай-ай!—закричалъ черемисъ и побѣжалъ за чучелами. Когда онъ приносилъ чучелъ, то отецъ топталъ ихъ ногами, такъ какъ онѣ были глиняныя. Потомъ черемисъ далъ моему отцу двухъ свиней.

Послѣ этого чуда бѣдный черемисъ долго глядѣлъ на икону, осмотрѣлъ ее со всѣхъ сторонъ, лепеталъ что-то по-своему и повѣсилъ опять на стѣнку потомъ онъ сталъ молиться и спрашивать икону и кричалъ, да икона не давала отвѣта. Пошелъ черемисъ съ жалобой къ отцу, что образъ говорить не хочетъ; отецъ взялъ съ собой дьячка, и образъ опять заговорилъ. Послѣ этого черемисъ не снималъ образа и даже сталъ ходить въ церковь, думая, что попъ Микола съ образами разговариваетъ; его примѣру послѣдовало нѣсколько черемисовъ.

Въ Пасху, въ Рождество, въ Троицу, и въ свои именины отецъ ѣздилъ въ деревни славить; за это ему давали, кто птицъ, кто ягодъ, кто просто поилъ пивомъ и брагой. За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть въ городѣ.

Съ крестьянами мой отецъ жилъ дружно: барства въ немъ никакого не было, за простоту всѣ любили его, да и понятія его нисколько не разнились отъ крестьянскихъ понятій. Онъ такъ же, какъ и крестьяне, говорилъ, что на другомъ концѣ живутъ люди съ рогами, что въ лунѣ сидитъ Каинъ и Авель, и онъ ни за что бы не повѣрилъ, а обругалъ бы того, кто сталъ бы доказывать ему, что земля шаръ и т. п. Больше всего крестьяне любили отца зато, что онъ выручалъ ихъ тогда, когда съ нихъ требовали подати.

— Батюшко Микула... Подать надо — говоритъ крестьянинъ, чуть не плача.

— Поди продай коровенку,—совѣтуетъ отецъ.

— Кому продать-то?—городъ-то далекъ, а староста больше рубля не дастъ.

— Ладно, ужо.

Пойдетъ отецъ къ сельскому старостѣ, занимавшемуся бойней животныхъ, выдѣлываніемъ кожи и имѣвшему большую лавку въ городѣ. Онъ ему всегда продавалъ крестьянскихъ животныхъ выгодно для крестьянъ: если бы староста бралъ корову отъ крестьянина то далъ бы рубль, а отцу давалъ пять и шесть рублей, и эти деньги отецъ вносилъ самъ за крестьянъ за подати и другія повинности, избавляя ихъ отъ хлопотъ и отъ излишнихъ тратъ: отецъ писарю ни копейки не давалъ, а поилъ пивомъ или водкой до безчувствія.

Или бывало такъ: придетъ къ отцу крестьянинъ или черемисъ.

— Что, братанъ?—спроситъ отецъ.

— Бида бульша: хозейко подохъ, Лапша подохъ; ись... кору глодалъ, брюха бульна...

Дастъ ему отецъ муки съ полпуда и схоронитъ покойниковъ даромъ.

Отецъ часто путался насчетъ постовъ и праздниковъ, о чемъ онъ постоянно справлялся въ городѣ, у тетки Матрены, которую очень любилъ.

— А что, сестра, тожно что: постъ али *молостъ?*

Та смѣется и спрашиваетъ: «мясопустъ или мясоястіе тебѣ?»

— Все одно: постъ али молостъ?

— Теперь молостные дни-то.

— Экой я дуракъ!—Я вѣдь, сестра, капусту ѣмъ да рѣдьку хлебаю.

— Черезъ три недѣли маслянка будетъ. Пріѣзжай ужо.

Или спрашиваетъ: «а Петро-Павла скоро?»

— Еще недѣля.

— А теперь что?

— Постъ.

— А я ужъ отгулялъ Петро-Павла.

— Ахъ ты грѣховодникъ!.. Поди къ благочинному, покайся. Пойдетъ отецъ къ благочинному и дастъ ему лукошко яицъ.

Онъ зналъ, что бываетъ именинникъ весной, но котораго числа—не помнилъ. Дьячокъ, находясь съ нимъ по мѣсяцу на охотѣ, тоже путался въ дняхъ, староста грамотѣ не зналъ и съ Рождества до Ильина дня жилъ въ другихъ мѣстахъ, писарю отецъ не довѣрялъ. У отца выходило такъ: стаялъ снѣгъ, появилась трава—это значитъ Вознесенье, а тутъ скоро и Никола, а за Николой и Троица. Спрашивать онъ не любилъ, а его спрашивали крестьяне.

— А что, Микола скоро?—спрашиваютъ крестьяне.

— Какъ снѣгъ стаетъ, да первый дождь будетъ, тутъ значитъ и Микола.

— А скоро?

— Да вишь ты—все снѣгъ? Съ горъ-то снѣгъ стаялъ, а у насъ нѣтъ.

А если на другой день пойдетъ утромъ дождь; онъ не справившись въ городѣ, служитъ обѣдню.

Впрочемъ, если бывалъ въ селѣ староста, онъ у старосты справлялся, но староста былъ раскольникъ, и ему отецъ мало довѣрялъ.

Метрики велъ волостной писарь, такъ какъ онѣ отсылались благочинному два раза въ годъ. Получивши отъ благочиннаго новыя книги, отецъ несъ ихъ писарю.

— Гляди! баско какъ.

— Что, опять?—говорилъ писарь.

— Опять. Ты возьми и пиши тутъ.

— Да я почемъ знаю!

Такъ какъ писарь въ книги ничего не вносилъ безъ указаній отца, то за мѣсяцъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать къ благочинному, онъ бралъ съ собой дьячка и писаря съ книгами и вписывалъ въ нихъ, что нужно было, въ домахъ обывателей, при чемъ, конечно, обыватели даромъ не отдѣлывались, и барыши дѣлились на писаря, отца и дьячка, который, впрочемъ, все отдавалъ отцу. Благочинный очень много бралъ за метрики, такъ-что отецъ ворочался иногда изъ города безъ копейки и безъ хлѣба.

Дьячокъ Сергунька жилъ въ нашемъ домѣ, въ той избѣ, въ которой жилъ отецъ до посвященія въ священники. Онъ былъ пьяница, буянъ, драчунъ и при всемъ этомъ трусъ, глупъ и безсиленъ, но человѣкъ зато честный. За это и за то, что онъ помогалъ отцу, отецъ любилъ его; безъ него не ѣлъ и не пилъ водки, пива или браги тогда, когда Сергунька былъ налицо. Сергунька даже и въ городъ постоянно ѣздилъ съ отцомъ. Если у обоихъ были деньги или много пива или браги, то они сзывали обывателей къ себѣ въ домъ и поили ихъ на славу; съ своей стороны и обыватели по мѣрѣ средствъ своихъ угощали ихъ.

Отецъ даже обѣщался Сергуньку сдѣлать попомъ вмѣсто себя, и просилъ объ этомъ благочиннаго, но тотъ говорилъ: «Посмотримъ. Да и къ тому же, ты еще не умеръ... А впрочемъ, прибавлялъ онъ, нынче едва ли твоего дьячка посвятятъ въ священники, потому-что нынѣ на эти мѣста опредѣляютъ ученыхъ».

Мать у меня была смирная, забитая, простая женщина. Съ крестьянами она траву косила, ходила къ нимъ, и тѣ ходили къ ней вечеровать. Соберется, этакъ, женщинъ шесть, сидятъ около зажженной лучины, прядутъ кудель, что-нибудь говорятъ или пѣсни поютъ. Мать въ дѣтствѣ хорошо читала; вычитала она много о житіи святыхъ, и эти житія разсказывала женщинамъ. Теперь же она ничего не читала, потому-что нечего было читать.

Случится у кого-нибудь бѣда, идетъ къ ней женщина и воетъ:

— Васильевна!.. самъ помиратъ... охъ!.. охъ!..

Погорюетъ съ ней мать и запечалится.

— Эко дѣло, Сидорыча-то нѣтъ... А ты ужо возьми ключъ-то отъ церкви да свези его туда.

— Боязно тожно будетъ.

— Безъ этого нельзя. Начальство узнаетъ—двѣ бѣды: вамъ будетъ и Сидорычу бѣда будетъ.

— Нѣтъ, ужъ мы какъ-нибудь.

— А не то, свезите на кладбище, попъ послѣ отпоетъ.

— Матушка ты моя!—скажетъ женщина и поклонится матери въ ноги.

Она давала крестьянамъ муки, хлѣба, сѣмянъ для огородныхъ овощей, а главное — лѣчила ихъ травами и деревяннымъ масломъ. Иногда больные выздоравливали.

Отецъ часто колачивалъ мать ни за что, ни про что. Бывало, дерутся отецъ и дьячокъ. Такъ и кажется, что который-нибудь изъ нихъ зашибетъ другого. Подойдетъ мать и слезно упрашиваетъ ихъ перестать—поколотятъ и ее.

Такъ, когда отецъ былъ дома, она постоянно ходила въ синякахъ. Плакала моя бѣдная мать много, и только крестьянкамъ высказывала свое горе, но и у нихъ не легко было на душѣ...

Трезвый отецъ ея не билъ, а при гостяхъ или въ гостяхъ, наливая ей рюмку водки, говорилъ весело:

— Ну-ко, Настька, цыпъ-цыпъ!

— Убирайся ты, пьяница!—говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то подъ порогъ брошу.

— Убирайся ты, олень большорогой!

— Охъ ты курочка-мохноножка!

Мать выпиваетъ рюмку, кашляетъ, отецъ подходитъ къ ней и любезно колотитъ ее въ спинку, приговаривая:

— Подавилась попадья, подавилась, а мы укладываемъ.

Это забавляло гостей, они говорили: какой совѣтъ у попа съ попадьей!» Несмотря на жестокое обращеніе отца съ матерью, мать, кажется, любила отца. Это я заключаю изъ того, что, бывало, когда нѣтъ дома отца недѣли двѣ, она вся измучится: долго сидитъ по вечерамъ, долго не спитъ и охаетъ: «Гдѣ же это Сидорычъ? Ужъ не заѣли ли его медвѣди? Вѣдь не говорила ли я: не ходи, не ходи: скоро сорокового убьетъ, на сорокъ-первомъ не сдобровать... А то вонъ въ какую грозу ушелъ пьяный. И Сергуньки-то нѣтъ вѣдь». И чуть только заслышитъ она пѣсню или голосъ, ей думается: это Сидорычъ... И она будитъ насъ. Но отецъ часто приходилъ послѣ этого недѣли черезъ двѣ.

Дьячка Сергуньку она не любила: она говорила, что онъ разстроивалъ отца, и отецъ до его пріѣзда былъ ласковѣе съ ней.

На девятомъ году мать стала учить меня и брата грамотѣ, какъ умѣла. Я быстро понималъ, но съ братомъ она долго возилась. Дьячокъ училъ насъ пѣть, но въ пѣніи я былъ плохъ, и когда я пѣлъ неладно, онъ, теребя мое ухо, говорилъ: «учись, учись; попомъ будешь».

«Нѣтъ, ужъ я не буду. Пусть онъ будетъ», говорилъ я, указывая на брата, и злился почему-то на дьячка...

Наступилъ мнѣ десятый годъ. Лѣтосчисленіе мое считалось съ именинъ, потому что ни отецъ, ни мать не помнили, котораго я числа родился. Время было лѣтнее, жаркое. Я игралъ съ ребятами на улицѣ, а отецъ ходилъ по-грибы. Приходитъ домой отецъ съ грибами, а дьячокъ хлебаетъ уху изъ карасей.

— Гляди-ка Сергунька, грибы-то! Не въ примѣръ лучше твоихъ толстопузиковъ.

— Не хвастайся—поганыхъ принесъ.

— Охъ ты, пучеглазый!

Дьячокъ соскочилъ съ лавки, швырнулъ на полъ набереху, грибы разсыпались по полу. Онъ хохоталъ и скакалъ на грибахъ. Это до того разозлило отца, что онъ долго таскалъ дьячка за волосы и за бороду. Однако черезъ полчаса отецъ смирился; мать принесла ему жбанъ пива, и онъ, отпивъ половину, сталъ хлебать уху, и по мѣрѣ того, какъ его разбирало пиво, онъ начиналъ ворчать все болѣе и болѣе, говоря, что онъ еще въ первый разъ получилъ такую непростительную обиду, потому-что грибы были его любимое кушанье. Послѣ обѣда отецъ и дьячокъ были уже порядочно хмѣльны и перекорялись другъ съ другомъ; мать мотала на клубокъ шерстяныя нитки, а я держалъ передъ ней мотокъ.

— Ужъ молчалъ бы! Хорошъ попъ, читать не умѣетъ,—кричалъ дьячокъ.

— Поговори ты еще, собака! Кабы я службы не зналъ, не сдѣлали бы попомъ.

— Охъ ты! Да тебя вовсе не посвящали; тебѣ мерещилось, а ты и взаправду... Тебя разстригали.

— Ахъ, будь ты проклятъ!.. Собака, какъ есть собака! коли ты хорошій человѣкъ, зачѣмъ ты у меня въ услуженіи находишься? Чуча! Ужъ надъ тобой не споютъ съ полатей на полати!

— Ну, какъ ты не дуракъ, коли сполать называшь полатями.

— Врешь! Всѣ хорошіе люди баютъ: коли человѣкъ заслуживатъ, ему большое повышенье даютъ... Вотъ меня, значитъ, и повысили: прямо изъ мужиковъ попомъ сдѣлали. А тебя не сдѣлаютъ...

— Да ты что больно-то расхвастался! Сколько живу, ты всего-то два медвѣдя убилъ.

— Сорокъ три убилъ!

— Два, а тѣ я...

— Ты?! Да ты, что есть, хоть бы въ ляшку попалъ. А вотъ я такъ ломомъ прямо по башкѣ.

— Два!!

— А ты и вотъ ни на эстолько.

— Два!!

Отецъ вцѣпился въ дьячка, дьячокъ не уступалъ. Вступилась мать, но ея не слушали. Я держался за мать. Въ это время вошелъ въ избу городской дьячокъ, котораго я никогда не видалъ.

— Здорово. Что вы это, ребятушки?

Отецъ выпустилъ дьячка; оба они запыхались и съ удивленіемъ смотрѣли на дьячка въ подрясникѣ, сапогахъ и шляпѣ.

— Который изъ васъ священникъ Поповъ.

— Я,—сказалъ отецъ.

— Нѣтъ я!—сказалъ дьячокъ.

Отецъ выругалъ Сергуньку и спросилъ:

— А что?

— Благочинный пріѣхалъ.

Отецъ струсилъ, а Сергунька захохоталъ.

— Что? онъ тѣ задастъ!! онъ тѣ зада-астъ!!!

Отецъ посмотрѣлъ на Сергуньку сердито и спросилъ пріѣзжаго дьячка весело:

— Батюшка Олексѣй?

— О! отецъ Алексѣй передъ Петровымъ днемъ умеръ...

Отецъ вздохнулъ, перекрестился и удивляясь, спросилъ:

— Кто же это, коли умеръ?..

— А у насъ теперь благочинный новый, молодой, щеголь такой, сердитый...

— Вре?!

— Да онъ тамъ у твоего дома въ повозкѣ сидитъ.

— Настька, добудь-ко балахонъ-то! — сказалъ отецъ матери.

— Да скорѣй,—торопилъ пріѣзжій дьячокъ отца.

— А ты погоди ужо, я скоро, а ты бы его звалъ въ горницу... Настька, волоки жбанъ пива... Эко дѣло, вино-то все выпили... Это все подлецъ Сергунька слопалъ.

— Ахъ, бѣда!.. Нажилъ ты, попъ, бѣды... Гляди, благочинный-то въ шапочкѣ вышелъ изъ коробато—говорила мать, глядя боязливо въ окно.

Дьячокъ отворилъ немного окно и дивился.

— Гляди, попъ какой молодой!

— Да не кричи, болванъ! — горячился отецъ, суетясь.

Отецъ, надѣвши рясу, тоже глядѣлъ съ нами. Онъ увѣрился въ томъ, что это благочинный, потому-что онъ всѣхъ священниковъ въ камилавкахъ и скуфьяхъ, которыя онъ называлъ шапочками, считалъ за благочинныхъ... Всѣ мы, глядя боязливо въ окно, удивлялись: благочинный былъ молодой человѣкъ, здоровый, краснолицый и, какъ видно, очень важный господинъ: мать говорила, что онъ важнѣе станового пристава, дьячокъ—важнѣе стараго благочиннаго... Пріѣздъ его привлекъ на улицу много обывателей разныхъ возрастовъ, которые стояли противъ повозки у домовъ, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные!—сказалъ онъ вдругъ обывателямъ.

Половина изъ нихъ вошли во дворъ, бабы глядѣли другъ на дружку, дѣти глядѣли на него съ разинутыми ртами и держались за бабъ.

Отецъ, помолившись Богу, пошелъ на улицу съ пріѣзжимъ дьячкомъ. Сергунька, мать и я съ братомъ глядѣли изъ окна.

Отецъ подошелъ къ благочинному, низко поклонился ему и подошелъ подъ благословеніе. Благочинный важно запахнулся и сказалъ:

— Ты, что ли, священникъ Николай Поповъ?

— Тошно такъ, батюшко: я Микола Знаменскій.

— Что?

Отецъ стоялъ смиренно.

— Я слышалъ, что ты сегодня обѣдню не служилъ.

— Я-то?.. А пошто ее служить-то? Разѣ праздникъ какой?

— А ты развѣ не знаешь этого?

— А поцемъ мнѣ знать-то... Вонъ я вцера изъ лѣсу пришелъ съ Сергунькой. Медвѣдевъ-то нонѣ маловато, а рябковъ да глухарей—это благодать.

— Ты стрѣляешь? Развѣ дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказалъ! Да я всегды этимъ занимаюсь, потому кору бы глодалъ. Зачѣмъ! А ты, батюшко благочинный, залѣзай въ избу-то, я те пивкомъ попоштую да глухарей дамъ.

— Предоставляю это вонъ ему, а мы отправимся въ церковь,—сказалъ гордо благочинный, указывая на пріѣхавшаго съ нимъ дьячка.

— Пошто?

Дьячекъ Сергунька, услыхавъ это, схватилъ ключъ, лежавшій на божницѣ передъ иконами, и не говоря ни слова, выбѣжалъ изъ избы на улицу и, не поклонившись благочинному, побѣжалъ къ церкви.

— Куда ты, шароглазый?—крикнулъ ему отецъ.

— Обѣдню служить,—прокричалъ дьячокъ, не останавливаясь.

— Сергунька?! да развѣ топерь служатъ обѣдни, свинья ты этакая!—кричалъ отецъ горячась и сказалъ благочинному:

— А ты, батюшко, не спѣсивься: вотъ тѣ Христосъ, пиво у меня всѣмъ пивамъ пиво. Пей не хочу, да и съ дорожки-то ушки бы похлебалъ. Сергунька славныхъ карасей наловилъ.

— Кто этотъ Сергунька?

— А дьячокъ. Бестія такая, что бѣда, а ни на кого не промѣняю, нужды нѣтъ, что онъ поперекъ въ горлѣ сидитъ. Подемъ... А?

Благочинный, какъ я замѣтилъ, хотѣлъ ѣсть, но ему не хотѣлось согласиться на приглашеніе отца. Дьячокъ, проѣхавшій съ нимъ и безъ стѣсненія ходившій около него, ругавшій лошадей неприличными словами, укладывавшій вещи въ повозкѣ, насвистывая, съ достоинствомъ глядя на народъ, собравшійся изо всѣхъ домовъ, и желавшій посмѣяться надъ отцомъ вслухъ и тѣмъ показать намъ, что онъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ благочиннымъ, залихватски спросилъ благочиннаго:

— Ваше высокоблагословеніе, прикажете лошадей распречь?

— Не твое дѣло! Я скажу, — сказалъ благочинный, сердито взглянувъ на дьячка, желая этимъ доказать дьячку, какъ онъ ничтоженъ. Дьячокъ присмирѣлъ.

— Пожалуй,—сказалъ благочинный, и, къ великой радости отца и ужасу матери и насъ, вошелъ въ избу. Мать подвела насъ подъ его благословеніе. Отецъ ввелъ благочиннаго въ горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи,—сказалъ благочинный и потомъ, затыкая носъ, прибавилъ:—какъ здѣсь душно, грязно...

— А что, батюшко!.. Прежніе благочинные никогда не ѣздили сюда, а ты и грамотки, что есть, не послалъ. Ужъ я бы припасъ про те много. А то что: уха!

Отецъ и мать суетились до того, что позабывали, что имъ нужно. Отецъ былъ въ восторгѣ, что онъ угощаетъ самого благочиннаго, а мать сердилась на отца, упрекая его тѣмъ, что онъ не позаботился раньше объ угощеніи и вылакалъ съ дьячкомъ все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; онъ разспрашивалъ о прихожанахъ, зѣвалъ. Повидимому, онъ былъ голоденъ, дожидался хорошихъ кушаній, но отецъ угощалъ его пивомъ, которое мать достала отъ старосты. Большого труда стоило отцу заставить благочиннаго пить пиво, которое онъ пилъ какъ будто съ отвращеніемъ, но все-таки захмѣлѣлъ.

— А ты бы, батюшко тово... поспалъ бы маленько. Поди-ко растрясло,—говорилъ отецъ.

— Пожалуй, не мѣшаетъ. Позови дьячка.

Дьячокъ толковалъ о чемъ-то съ мужиками, энергически растолковывая имъ что-то; тѣ хохотали.

Лошадей и повозку втащили во дворъ. Дьячокъ втащилъ въ горницу всѣ вещи изъ повозки и положилъ на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный легъ спать, приказалъ, чтобы его не тревожили, а отецъ, накормивши и напоивши дьячка, пошелъ съ нимъ въ церковь. Тамъ Сергунька, читая какую-то молитву, чистилъ полой армяка оклады на иконахъ.

— Ужъ я читалъ-читалъ часы, а васъ нѣтъ...—говорилъ недовольнымъ голосомъ Сергунька.

Отецъ захохоталъ. Скоро они вышли изъ церкви, взяли у сосѣдей пива и долго протолковали въ избѣ Сергуньки. Пріѣзжій дьячокъ увѣрялъ, что благочинный ужасно строгій человѣкъ и помаленьку не беретъ.

На другой день утромъ, когда проснулся благочинный, то потребовалъ умываться. Отецъ подавалъ ему воды, за что получилъ благодарность. Умывшись и помолившись, онъ приказалъ поставить самоваръ; но такъ какъ у насъ не было ни самовара, ни чайной посуды, то благочинный потребовалъ метрики.

— Батюшко, я сбѣгаю къ Васькѣ. Онъ писарь и всѣ метрики баско ведетъ.

Благочинный дожидался отца съ часъ. Отецъ принесъ бѣдныя книги, въ которыхъ ничего не было написано.

— Что же это такое? — спросилъ удивленный благочинный.

— А что?

— Отчего тутъ не вписаны родившіеся, умершіе и т. п.

— А пошто ихъ писать-то? опосля впишу.

Благочинный раскричался, отецъ струсилъ и не зналъ, что говорить.

— Я объ этомъ высокопреосвященному донесу!

— Батюшко, не жалуйся!—сказалъ отецъ, кланяясь въ ноги благочинному, который сталъ кричать громче прежняго и долго что-то говорилъ непонятное для насъ.

— Я желаю видѣть твою службу, — сказалъ

вдругъ благочинный и пошелъ вонъ изъ нашего дома на улицу.

Пошелъ отецъ въ церковь съ благочиннымъ и дьячка Сергуньку взялъ. Облекся отецъ въ холщевую ризу и началъ обѣдню. Церковь была полна любопытными. Съ самаго приступа, благочинный замѣтилъ отцу, что онъ вретъ, и потомъ, вдругъ пріостановивъ службу, одѣлся въ привезенныя изъ города облаченія и сталъ самъ продолжать службу съ своихъ дьячкомъ. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Народъ, видя, что служитъ не Никола Знаменскій, вышелъ изъ церкви.

По окончаніи обѣдни, благочинный сказалъ отцу: «приказываю тебѣ непремѣнно явиться ко мнѣ вмѣстѣ съ дьячкомъ въ городъ», и не выходя изъ церкви, велѣлъ своему дьячку запрягать лошадей. Сколько отецъ ни уговаривалъ его отобѣдать у него, онъ пошелъ къ старостѣ, который пригласилъ его. Отцу было обидно, что благочинный пошелъ обѣдать къ его врагу, и этотъ врагъ не пригласилъ отца.

Отецъ злился на дьячка, дьячокъ смѣялся надъ отцомъ, и общимъ совѣтомъ было рѣшено накласть повозку благочиннаго глухарями, яицами, рябчиками и масломъ. Безъ сбора дѣло не обошлось.

Благочиннаго провожалъ отецъ съ Сергунькой, мать, мы—два брата, староста и нѣсколько обывателей. Когда благочинный сѣлъ въ повозку, то сказалъ отцу:

«Непремѣнно приказываю тебѣ ѣхать въ городъ вслѣдъ за мной и явиться ко мнѣ съ дьячкомъ и дѣтьми, которыхъ я желаю отдать въ училище». Пріѣзжій съ нимъ дьячокъ былъ очень пьянъ и кое-какъ сѣлъ на козлы; но староста разсудилъ самъ исполнить должность кучера, и благочинный уѣхалъ.

«Пошто меня зоветъ въ городъ благочинный?»—думалъ отецъ, и это его весьма опечалило. Ему думалось, зачѣмъ пріѣзжалъ этотъ новый благочинный въ село? Посовѣтоваться было не съ кѣмъ, потому-что мать ворчала, Сергунька дразнилъ отца и больше растравлялъ его, а старосту онъ ненавидѣлъ. Отцу хотѣлось подарить благочиннаго, но чѣмъ?.. Новаго сбора съ крестьянъ онъ не хотѣлъ дѣлать, итти въ лѣсъ тоже не хотѣлось, потому что хотѣлось скорѣе съѣздить въ городъ. И онъ поѣхалъ одинъ. Черезъ двѣ недѣли онъ пріѣхалъ назадъ.

— Благочинный топалъ, топалъ на меня ногами, просто бѣда!—разсказывалъ отецъ.—Я, баетъ, что тебѣ велѣлъ? Я, баетъ, тебѣ велѣлъ явиться съ дьячкомъ и сыновьями. Поѣзжай назадъ и привези ихъ. А тамъ увидимъ. Ужъ я ему кланялся-кланялся—сердится. Прогналъ, что есть. А ничего не сказалъ, пошто мнѣ съ ребятами пріѣзжать.

Мать очень опечалилась: она любила меня, да она и боялась оставаться въ домѣ одна. Рѣшено было ѣхать въ городъ и ей. Поѣхали.

Представились благочинному, онъ сказалъ отцу:

— Тебя и дьячка твоего преосвященный требуетъ къ себѣ въ губернскій городъ. Изволь ѣхать.

Это было сказано такимъ тономъ, что отцу, дьячку и намъ показалось, что благочинный на отца ужасно осердился. Онъ съ нами даже и говорить не хотѣлъ и скоро ушелъ въ комнаты.

Отецъ спрашивалъ своихъ городскихъ знакомыхъ: что бы означало это приказаніе, но они говорили одно: «Не знаемъ. Можетъ статься, что онъ перевести васъ съ дьячкомъ хочетъ. А впрочемъ, не набухвостилъ ли (не пожаловался ли) благочинный?».

Губернскій городъ отъ Березова находится въ четырехстахъ верстахъ; въ немъ ни отецъ, ни дьячокъ никогда не бывали, и даже не знали туда дороги. Денегъ у отца было около рубля на ассигнаціи, а у дьячка никогда не водилось денегъ. Запечалился отецъ крѣпко, попросилъ денегъ у мужа тетки Матрены, тотъ за нѣсколько паръ глухарей и лукошко яицъ далъ десять рублей на ассигнаціи и, кромѣ того, взялъ съ него росписку, что онъ деньги уплатитъ. Вся наша семья была печальна, какъ будто всѣ находились въ большомъ несчастіи; но все-таки отецъ съ дьячкомъ казались веселыми и перекорялись другъ съ другомъ. Встрѣтилось еще затрудненіе: когда благочинный былъ въ селѣ, то велѣлъ отцу привести къ нему дѣтей, а когда мы были у него, то онъ на насъ не обратилъ даже вниманія. Что дѣлать съ нами? Мужъ Матрены совѣтовалъ пожить намъ съ матерью до его возвращенія у него, дьякона, но благочинный вдругъ потребовалъ отца и спросилъ:

— А ребятъ ты привезъ?

— Привезъ.

— Вези въ губернскій; тамъ возьмутъ ихъ въ семинарію.

Отецъ хотѣлъ было возражать, но благочинный ушелъ.

Итакъ мы поѣхали, а мать осталась у тетки Матрены.

О нашемъ путешествіи говорить не стоитъ, потому-что ни для кого нѣтъ интереса. Достаточно и того, что мы четыреста верстъ ѣхали двѣ недѣли...

Всю дорогу отецъ былъ задумчивъ; дьячокъ, по мѣрѣ приближенія къ городу, становился все веселѣе и старался разсмѣшить отца чѣмъ-нибудь.

— Попъ, а попъ?

Отецъ молчитъ.

— Вотъ оно что: въ гости самъ архирей зоветъ... Только я мекаю, не обманъ ли это.

— А что?

— Что? А то: можетъ насъ стегать будутъ зато, что мы обѣдни не умѣемъ служить. Чуешь?

— Будь ты проклятой! Чего вѣдь онъ и не скажетъ!..

Пріѣхали къ городской заставѣ. Я сидѣлъ на передкѣ и спрашиваю:

— Тятька, куды ѣхать?

— Куды?! Валяй къ архирею,—сказалъ отецъ...

Поѣхали прямо. Попалась навстрѣчу женщина. Отецъ снялъ шапку, остановилъ лошадь и спросилъ ее:

— А куды-ка къ архирею надо ѣхать?

— А тебѣ на что?—спросила та, улыбаясь.

— Звалъ.

— Да теперь поздно...

— Вре?!

— А вы поѣзжайте прямо, потомъ направо, тутъ въ улицѣ желтую колокольню увидите, тамъ спросите.

Поѣхали. Отецъ дивился, глядя на дома.

— Вотъ такъ городъ! А архирей поди въ такихъ горницахъ живетъ, что...

— Нѣтъ, ты вотъ что скажи: что онъ ѣстъ?

— А онъ поди ужъ ѣстъ не намъ чета. Поди, и жена у него инакая.

— Дуракъ ты, попъ: сказываютъ, архиреи не женятся?

— Толкуй! Какъ не то безъ жены-то?

Съ такими разговорами подъѣхали мы къ архіерейскому дому. Были уже вечерни.

— Ну ты, слѣзай,—говоритъ отецъ дьячку.

— Нѣтъ, ты, ты старше меня.

— Слѣзай, баю!

— Не слѣзу! Умру, а первый не слѣзу.

Нечего дѣлать, слѣзъ первый отецъ, за нимъ Сергунька, потомъ и мы; но намъ отецъ велѣлъ сѣсть.

— Ты, попъ, одинъ поди туда...—говоритъ Сергунька.

— Нѣтъ, вмѣстѣ.

— Ну ужъ, меня не затащишь.

— Сергунька! али мы не вмѣстѣ по медвѣдей ходимъ, али мы не товарищи?..

— То иное, это иное,—боязно.

Подошелъ отецъ къ воротамъ; вороты заперты. Недалеко отъ воротъ стояли два семинариста и разговаривали другъ съ другомъ. Отецъ подошелъ къ нимъ, снялъ шапку и поклонился.

— Почтенные, а откуда къ архирею залѣзать?

Это удивило семинаристовъ, они захохотали.

— Да ты кто?

Отецъ сказалъ.

— Онъ еще не пріѣхалъ: онъ въ уѣздѣ. Впрочемъ, завтра ждутъ.

— Да какъ же онъ звалъ?

— Мало ли что звалъ! И мѣсяцъ проживешь...

— Какой мѣсяцъ?

Семинаристы захохотали, стали разспрашивать отца; выговоръ отца смѣшилъ ихъ, отецъ не понималъ ихъ и, думая, что они издѣваются надъ нимъ, плюнулъ, выругался и пошелъ къ лошади.

Оставивши насъ караулить лошадь и телѣгу, отецъ съ дьячкомъ пошли разыскивать ходъ къ архіерею, но воротились назадъ черезъ часъ съ какимъ-то дьячкомъ, который велѣлъ намъ ѣхать за нимъ.

На квартирѣ мы прожили съ недѣлю. Дьячокъ и отецъ познакомились со многими семинаристами и дьячками, которыхъ онъ угощалъ водкой и которые тоже угощали его. Отъ нихъ онъ узналъ объ разныхъ порядкахъ: узналъ, что есть консисторія, архіерейскій письмоводитель, когда и какъ нужно являться къ архіерею, къ письмоводителю его и въ консисторію и т. д. Узналъ онъ также, что за разныя справки нужно давать деньги.

Пріѣхалъ владыко. На другой день отецъ и дьячокъ поплелись къ нему съ двумя дьяконами, а мы остались дома, потому-что отцу сказали, что онъ долженъ помѣстить насъ въ семинарію на казенный счетъ.

Воротились отецъ и дьячокъ печальные. Отцу приказано было въ субботу прочитать въ крестовой церкви шестопсалміе, а дьячку звонить на колокольнѣ. Отецъ запечалился надъ тѣмъ, какъ онъ будетъ читать при владыкѣ, а учить некогда, потому что завтра суббота; дьячокъ ругаетъ отца.

— Это все отъ тебя, потому ты дуракъ... Какой ты теперь попъ, когда тебя въ церкви читать заставляютъ? теперь ты дьячокъ, а не попъ.

Хотя отцу и говорили, что читать шестопсаліе священникамъ не рѣдкость, и даже въ соборѣ одинъ протопопъ въ большіе праздники, по своему желанію, читаетъ шестопсаліе, но отца трудно было увѣрить, онъ думалъ, что онъ теперь дьячокъ.

Пошли мы къ крестовую и стали съ дьячкомъ около клироса, около котораго псаломщикъ читалъ часы; отецъ стоялъ около псаломщика и дивился тому, какъ это онъ скоро читаетъ такъ, что ничего не разберешь. Пѣвчіе поддразнивали отца и подсмѣивались надъ нимъ; отецъ стоялъ, какъ на иголкахъ.

— Ступай,—сказалъ отцу вдругъ псаломщикъ.

— Куды?—спросилъ громко отецъ, не привыкшій еще говорить шопотомъ; народъ поглядѣлъ на отца.

— Ступай, ступай! бери книгу,—говорилъ отцу дьячокъ. Пѣвчіе хохотали, стоявшій съ ними на клиросѣ протодьяконъ шепталъ отцу сердито:

— Что жъ ты стоишь? иди скорѣе.

Отецъ пошелъ, но не въ ту сторону; псаломщикъ остановилъ его противъ царскихъ дверей и, указавъ на мѣсто въ книгѣ, ушелъ.

— Господи благослови... Благослови владыко,—началъ громко отецъ, но, вѣрно позабывшись, сказалъ громко:

— Эка оказія!

Народъ хихикнулъ, пѣвчіе зашипикали, изъ лѣвыхъ дверей вышелъ экономъ...

Отецъ пошелъ вонъ изъ церкви.

Онъ говорилъ, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ всталъ на середину церкви, ничего не помнилъ, что происходило вокругъ него. Сергунька, сначала хохотавшій, по уходѣ отца сказалъ намъ:

— Подемте, ребята. Бѣда! Экой вѣдь онъ, право... Ну, нѣтъ, что бы меня попросить...

На другой день потребовали отца въ консисторію и тамъ объявили, что ему запрещено исполнять всякія службы, что онъ теперь даже не дьячокъ, а разстрига, и отданъ подъ судъ. Сколько отецъ ни валялся въ ногахъ—ничего не помогло. Къ владыкѣ его не допускали.

Послѣ этого онъ прожилъ въ городѣ еще двѣ недѣли: къ это время онъ хлопоталъ за насъ, звонилъ на колокольнѣ съ Сергунькой, и когда насъ приняли, онъ поѣхалъ домой съ Сергунькой, котораго тоже разстригли и отдали подъ судъ, какъ и отца, за метрики.

Послѣ этого мнѣ и брату Ивану не приводилось видѣть отца и Сергуньку, потому-что мы не имѣли

возможности ѣздить въ Знаменское село. Отецъ жилъ только годъ. Вотъ что разсказывала мнѣ тетка Матрена:

«Николаха сказывалъ, что ужъ онъ теперь не попъ, а хуже дьячка. Ну, говорилъ, ничего... Ужъ онъ вѣрно много объ этомъ передумалъ. Когда онъ пріѣхалъ въ село, крестьяне говорили, что они стосковались о немъ—«не попъ ужъ я теперь—говорилъ онъ имъ—и не Никола Знаменскій, а крестьянинъ»... Но какъ ни увѣрялъ онъ обывателей, тѣ не хотѣли вѣрить...Покойниковъ и родившихся прибыло много, а такъ какъ отецъ не хотѣлъ справлять требы и прочія службы, то крестьяне не отходили отъ его дома. Ужъ неизвѣстно, какъ онъ отдѣлывался отъ крестьянъ. Церковь была заперта мѣсяца четыре, и когда пріѣхалъ новый священникъ съ дьячкомъ, крестьяне объявили имъ, что у нихъ есть попъ Никола и дьячокъ Сергунька. Какъ ни бился священникъ, только ни одинъ человѣкъ не шелъ къ нему ни за чѣмъ. Священникъ сталъ жаловаться начальству, начальство посадило отца въ острогъ, потому-де, что онъ бунтовщикъ. Въ острогѣ отецъ и умеръ, а Сергунька черезъ годъ послѣ того утонулъ въ рѣкѣ. Мать умерла у тетки Матрены.

И теперь наши знаменскіе крестьяне помнятъ отца: «не бывать ужъ такому доброму попу, какой былъ Никола Знаменскій».

А такъ-какъ крестьяне ничего не давали священникамъ, священники часто мѣнялись, а начальство ничего не могло сдѣлать съ крестьянами, то приходъ перевели въ другое село; церковь недолго стояла: она сгорѣла отъ молніи...

Дѣдушка Онисимъ.

(Разсказъ).

Люблю я дѣдушку Онисима. Да и какъ не любить его, если онъ добрый, прямодушный человѣкъ. Давно я его знаю: еще когда я мальчишкой бѣгалъ въ ситцевой красной рубашонкѣ, постоянно изорванной, по кулаковскому заводу, безъ штановъ, то какъ, бывало, увижу высокую, худощавую фигуру съ сѣдыми волосами, стоящую у воротъ, непремѣнно побѣгу къ нему съ неописанною радостію и кричу:

— Дѣдушка Онисимъ! дѣдушка Онисимъ! разскажи ты мнѣ, какъ ты козу замѣсто поросенка съѣлъ?

И любо, какъ онъ крикнетъ: я тебя, шишкотрясъ (дуракъ)! Вотъ, какъ оттаскаю за вихорьто, не будешь старѣе себя передразнивать.

А онъ, надо вамъ пояснить, очень не любилъ, когда его корили козой и частенько-таки потеребливалъ наши вихры. И мы не обижались этимъ: напротивъ, намъ нравилось это.

И много ужъ прошло съ тѣхъ поръ лѣтъ, какъ онъ держалъ насъ на колѣняхъ, разсказывалъ намъ о томъ, какъ его наказывали, обижали и прочее; но всѣ мы глубоко уважаемъ эту старую, честную личность. И онъ радуется, глядя на насъ.

— Славные вы ребята вышли, внучки мои милые. А помните ли вы, какъ я васъ за вихры теребилъ?

— Помнимъ, дѣдушка Онисимъ, помнимъ. Мы глупы, малы были—спасибо.

— Ну, то-то, внучки мои. Теперь ужъ не мнѣ должно утѣшать васъ, а вамъ меня, и потомъ прибавитъ со вздохомъ: да, внучки! и я былъ молодъ!

Но въ этихъ словахъ сколько выражалось грусти! Былъ молодъ и каково это было время: вѣдь ему теперь уже девяносто четыре года...

И много-много дѣдушка Онисимъ пережилъ всякихъ всячинъ въ это время; многое сохранилось въ его головѣ и, если бы онъ сталъ разсказывать вамъ про свою жизнь, вамъ бы долго-долго пришлось дожидаться конца, хотя бы вы, взрослые люди, и увлеклись каждымъ стариковскимъ словомъ, каждою простою рѣчью, каждымъ жестомъ его, хотя бы многое вамъ и показалось невѣроятнымъ...

Да. Влачить, подобно дѣдушкѣ Онисиму, жизнь до такой старости вещь довольно не легкая; но дѣдушка Онисимъ терпѣть не можетъ вотъ какихъ словъ: старъ, старъ ужъ ты, дѣдушка Онисимъ! Пора бы и на спокой.

На это онъ съ гнѣвомъ возражаетъ: ахъ ты подлецъ! да разѣ я твою-то могилу залягу. Полуварначье ты эдакое, *нашивальная гривенка, наколочный пятачекъ!*

Всѣ, отъ мала до велика, уважаютъ его, даже самъ управитель подъ веселую руку любитъ поговорить съ нимъ о старыхъ порядкахъ и поиграть съ нимъ въ шашки, — что ставитъ управителя въ виду молодежи за добраго человѣка, а дѣдушку Онисима за добраго и умнаго, на томъ основаніи, что слово дѣдушки свято: «сказано-связано» говоритъ онъ и, если что захочетъ сдѣлать по-своему, сдѣлаетъ. Напримѣръ, однажды управитель свободныхъ рабочихъ послалъ косить траву, а другую партію тушить лѣсной пожаръ, такъ-что въ заводѣ не осталось ни одного рабочаго, ни одной здоровой не старой бабы, да и пора была страдная: рабочимъ нужно было свою траву косить. Ну, Онисимъ и поплелся къ управителю.

— Ваше благородье, это теперича что означаетъ: всѣ, теперича, на работу пошли?

— Ну такъ что же?

— Нѣтъ, ты дай мнѣ слово сказать, потомъ ужъ объясняйся. Я старый воробей, изъ-подъ неволи третій десятокъ годковъ вышелъ, меня всѣ слушаются. А вотъ ты что дѣлаешь? взялъ да и угналъ весь народъ и отъ ихныхъ дѣлъ отнялъ: поди-ко, всякому надо на слободѣ свои дѣла въ порядки привести. Время-то, знашь какое? Ну-ко, отвѣчай?

— Что же по-твоему—травѣ гнить? по-твоему лѣсъ долженъ горѣть?

— Почто? Вотъ и видно, что ты бабьимъ умомъ живешь. И сѣно не сгніетъ; а что до лѣсу, такъ рабочіе ты думашь, и спасутъ его позаглазъ? По-

вѣрь старику: зато, что ты ихъ погналъ, они весь лѣсъ спалятъ. Предупреждаю и тебѣ добра желаю. Просимъ прощенія и къ себѣ милости въ гости.

— Постой, старина! Ну, что бы ты сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ?—спросилъ озадаченный управитель.

— Что меня спрашивать: ты наукамъ обучался всякимъ, а я самоучкой выучился.

— Однако.

— А коли на то пошло, вотъ тебѣ мой приказъ, исполнишь спасибо, не исполнишь — наплевать: освободи двѣсти человѣкъ отъ работъ.

— Какъ, развѣ я двѣсти послалъ?

— То то, что триста съ хвостикомъ, умная ты голова. Пошли въ лѣсъ пятьдесятъ, да самъ распоряжайся, гдѣ какія канавы копать, откуда, куда и какъ воду пущать, а на покосъ можно солдатъ пригласить, также задаромъ нашъ хлѣбъ ѣдятъ. Они сами вызываются, и про тебя не одна пѣсня ими сложена.

Управитель и сдѣлаетъ такъ, какъ научитъ дѣдушка Онисимъ, а потомъ и говоритъ своимъ пріятелямъ: какой этотъ старикъ придурной, изъ ума выжилъ, настоятельно требуетъ,—ну я уважаю его старость, поблажаю ему... Даже горный начальникъ распекаетъ управителя: вы только какого-то старика Оглоблина слушаетесь, его умомъ глупымъ пользуетесь.

Управитель и горный начальникъ даже боялись дѣдушки Онисима, потому-что «этотъ старый чортъ располагаетъ къ себѣ». И боялись они его съ тѣхъ поръ, какъ онъ выхлопоталъ пособіе рабочимъ. Дѣло состояло вотъ въ чемъ. Велѣно было проложить черезъ заводъ дорогу. Наѣхали землемѣры и проложили планъ дороги черезъ дома, а потому эти дома велѣно было ломать. «Какъ ломать? за что?» слышалось вездѣ, и никто не хотѣлъ взять въ толкъ, что дома ломаются для дороги. Судили, рядили, пошли въ контору; тамъ одно: «велѣно ломать, потому Васильевская улица кривая, а теперь хотятъ проложить прямую дорогу и черезъ рѣчку сдѣлаютъ каменный мостъ; слышно, дорога будетъ стоить не одну тысячу».— «А коли дорога будетъ стоить не одну тысячу, такъ они за наши домишки пусть деньги заплатятъ». «Какія вамъ деньги, Господь съ вами, коли вамъ даютъ землю у оврага, а домишки сломаете, перевезете, снова построите, говорили имъ въ конторѣ». — «Толкуйте! А разѣ намъ не жаль капусты, картофеля и прочаго, что въ огородахъ насажено».

Такъ ничего и не могли подѣлать рабочіе съ конторой, а конторскіе служащіе, кои жили на томъ мѣстѣ, гдѣ предполагалась дорога, стали строить въ другихъ мѣстахъ дома. Управитель былъ новый и распорядился ломать дома на счетъ казны...

Пріѣхалъ генералъ, т.-е. главный начальникъ горныхъ заводовъ; какъ водится, распекъ начальство за то, что дорога не ладится, и какъ сталъ выходить изъ церкви, дѣдушка Онисимъ и подходитъ къ нему.

— Что старина?—спросилъ его генералъ.

— Енаралъ! защити, помилуй. Окромя тебя некого просить. Коли ты такъ приказалъ,—прости старика за глупыя мысли...

— Ну. Въ чемъ же дѣло, старый чортъ?

— А вотъ: ты велѣлъ дорогу строить?

— Я.

— Ну. Черезъ дома?

— Черезъ дома.

— А какъ же намъ изъ этихъ гнилыхъ бревенъ дома строить, коли лѣсу не даютъ?

— Вамъ пособіе назначено по пятнадцати рублей.

— Позови-ко управителя-то, мы это дѣло расчачкамъ (разсмотримъ).

Подошелъ управитель.

— Ты что говорилъ? — спросилъ его дѣдушка Онисимъ.—Ты намъ когда говорилъ о пособіи?

— Я говорилъ.

— Генералъ! Я человѣкъ старый, по закону отъ тѣлеснаго наказанья избавленъ, только ты не думай, что я буянъ, а ты спроси меня я тѣ скажу, какія штуки твой управитель творитъ; первой: онъ намъ ни о какомъ пособіи не говорилъ, а велѣлъ просто-напросто ломать дома и переѣзжать къ оврагу, а то и забылъ, что мы люди рабочіе, намъ время дорого.

— Объяснись!—сказалъ генералъ управителю.

Управитель не зналъ, что сказать; генералъ, понявъ плутни, крикнулъ: долой со службы! а дѣдушкѣ Онисиму сказалъ: спасибо, старина, что ты изобличилъ этого мерзавца. Скажи рабочимъ, что они, кромѣ лѣсу, получатъ денежнаго вознагражденія по пятнадцати рублей.

Будь на мѣстѣ дѣдушки Онисима другой, право не сдобровать бы ему, а Онисимъ старъ, не робокъ, за словомъ въ карманъ не полѣзетъ.

Поэтому-то дѣдушка Онисимъ пользуется большой славой въ заводѣ, его любятъ всѣ, отъ мала до велика, но не думайте, чтобы онъ былъ гордъ: онъ такъ же, какъ и прежде бывало, въ солнечный день утромъ погоняетъ двѣ коровы, принадлежащія его внуку, ходитъ съ ребятами въ лѣсъ по грибы и ягоды и вечеромъ сидитъ на завалинкѣ въ рубахѣ, штанахъ, босой, какъ патріархъ, окруженный ребятами, мужчинами и женщинами, которые разговариваютъ съ нимъ, какъ съ родственникомъ. Онъ также и не богатъ; но по двумъ коровамъ, которыя онъ провожаетъ въ поле только по охотѣ въ хорошій день, еще нельзя судить о богатствѣ; да и гдѣ ему было взять это богатство, когда онъ не былъ мастеромъ, не занимался хлѣбопашествомъ, не торговалъ, а работалъ въ фабрикахъ, былъ куреннымъ и полѣсовщикомъ. Правда, бывши полѣсовщикомъ, можно бы было накопить денегъ, но онъ полѣсовщикомъ былъ очень недолго и во все это время кутилъ. Это типъ обыкновенныхъ чернорабочихъ, и дѣдушку Онисима нельзя назвать человѣкомъ необыкновеннымъ. Исторія его очень проста.

Отца онъ не зналъ, а знали его отца только мать и заводчане. Мать его была дѣвушка очень красивая и, такъ какъ она съ дѣтства жила у управителя, то и многимъ разнилась отъ осталь-

ныхъ дѣвицъ: была высока, худощава, бѣлолица; той уродливости, которая замѣчается даже въ красивыхъ дѣвицахъ рабочаго класса, въ ней не было. Она выговаривала, ходила, глядѣла по управительски. У управителя она выросла; всѣ ее считали за свою дѣвку, потому-что она не надменничала, и вдругъ разнеслась вѣсть, что Матрена Оглоблина родила парня.—Чей парень? Рѣшили: управителя. Спросили тайкомъ у нея, она подтвердила и жила еще въ домѣ управителя два года, вплоть до его смерти. О матери и ребенкѣ толковали недолго, потому-что въ Кулаковскомъ заводѣ это вещь обыкновенная, а потомъ и совсѣмъ не стали обращать вниманія.

О дѣтствѣ Онисима Иваныча разсказывать нечего.

Семнадцати лѣтъ онъ уже былъ зачисленъ на куренныя работы, а восемнадцати былъ женатъ, но жена на третій мѣсяцъ послѣ свадьбы родила.

Это было, конечно, большое горе для Онисима Иваныча, но онъ не задумался, а сталъ жить открыто съ Натальей Пановой, на которой впослѣдствіи и женился, когда умерла его жена.

Вообще семейныя дѣла его шли плохо. На работѣ тяжело, домой хоть и не приходи: то жена въ чемъ-нибудь виновата, то вездѣ онъ замѣчалъ непорядки. Зато въ обществѣ своихъ товарищей онъ вполнѣ отводилъ душу. Такого весельчака, краснобая, пѣсельника не было во всемъ заводѣ; Онисимъ Оглоблинъ всѣмъ былъ извѣстенъ, и всѣ отзывались о немъ съ похвалой. Передразнить механика-иностранца, сочинить стихи про кого-нибудь, это было легкимъ дѣломъ Оглоблина, и съ его словъ всѣ иностранцы, мастера и управитель назывались особыми прозвищами, при произношеніи которыхъ товарищи хохотали. Даже и теперь Онисимъ Иванычъ не задумается дать кличку кому-нибудь. Но все-таки по этому настроенію человѣка нельзя заключать, что онъ жилъ, спустя рукава: если дома, въ своемъ семействѣ, ему несчастливилось, то онъ всячески старался развеселиться съ товарищами и, частенько потѣшая ихъ какою-нибудь продѣлкой надъ мастеромъ и управителемъ, попадалъ подъ розги, такъ-что всѣ говорили, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который бы принялъ столько розогъ, какъ Онисимъ Оглоблинъ. Мало-по-малу продѣлки его сильно стали безпокоить начальство, и оно приняло противъ него болѣе крутыя мѣры, но это послужило ко вреду заводскаго начальства. Оглоблинъ сдѣлалъ штуку, которая возвысила его во всеобщемъ мнѣніи всѣхъ заводчанъ.

Разъ пріѣхалъ генералъ. Рабочіе слышали, что онъ за что-то разсердился на управителя. Только генералъ сталъ выходить изъ фабрики, Оглоблинъ и подходитъ къ нему и кидается ему въ ноги, говоря:

— Генералъ, пощади, помилуй!..

Генералъ сурово взглянулъ на управителя и горнаго начальника.

— Что это такое?—крикнулъ онъ.

— Виноватъ, енаралъ! прикажи постегать...— говоритъ Оглоблинъ.

Генералъ улыбнулся.

— Встань!—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, не встану, поколѣ на семъ мѣстѣ при себѣ не накажешь.

— Хорошо. Принесите розогъ.

Принесли.

— За какую вину просишь ты наказывать себя?

— Вина моя вотъ гдѣ! — сказалъ Оглоблинъ, ткнувъ пальцемъ въ голову.

— Не понимаю.

— Знаю я, что ты велишь меня наказать за правыя рѣчи...

— Говори.

— Слушай, коли такъ. Ты видѣлъ эти печи, что въ нихъ?—Шлакъ, а не мѣдь.

— Что-о? - крикнулъ генералъ и поглядѣлъ на горнаго начальника и управителя; тѣ поблѣднѣли.

— И на рудникахъ — руда сверху только на показъ... Продали они. А въ амбарѣ замѣсто муки лежитъ мѣдная руда.

— Ка-а-къ!

— Прикажи, батюшка генералъ, за правыя рѣчи наказывать.

Однако, Оглоблина не наказали, а генералъ, удостовѣрившись въ справедливости словъ рабочаго, уволилъ въ отставку горнаго начальника, а управитель застрѣлился.

Съ этихъ поръ всѣ рабочіе называли его храбрымъ и уважали, а управители потихоньку отъ рабочихъ воровали. Сильно эти управители злились на него, но ничего не могли подѣлать: Оглоблинъ былъ извѣстенъ генералу, отложили до новаго, но онъ и передъ новымъ отличился. Какъ разъ въ то время, какъ былъ въ заводѣ генералъ, онъ спасъ двухъ утопавшихъ; донесли объ этомъ генералу, генералъ призвалъ его къ себѣ и поблагодарилъ его за усердіе.

— Генералъ, дозволь слово сказать? — началъ опять Оглоблинъ.

— Кляузничать?

— Зачѣмъ? Ослободи ты насъ: за сто сорокъ верстъ на работы посылаютъ.

— Правда?—спросилъ генералъ управителя.

— Въ Шарвинскомъ заводѣ не хватаетъ рабочихъ.

— И знать ничего не хочу! Не посылать — и баста!

Всѣ удивлялись послѣ этого ловкости Оглоблина, но никто не завидовалъ тому, что ему везетъ. Будь и у другихъ побольше смѣлости и такту, и они бы могли разговаривать съ генераломъ.

Кончилъ онъ сорокалѣтнюю службу, вышелъ въ отставку на спокой, но скучно ему было. И онъ сталъ учиться шить сапоги. Этому онъ выучился скоро, и черезъ годъ работы у него было такъ много, что онъ не зналъ, за что ему и взяться. Но и эта работа ему опротивѣла, онъ сталъ ходить то на рудники, то на фабрику, и куда ни придетъ, вездѣ кричатъ: «дѣдушка Онисимъ! отзвонилъ года-те, снова, что ли, хошь начинать»? Молодые люди съ завистью глядѣли на него и думали: врядъ ли намъ дождаться отставки, когда наши ребятишки мрутъ. Ходить на рудники и въ фабрики для Онисима

было развлеченіемъ: онъ могъ поиздѣваться надъ мастеромъ, потеребить мальчугана за ухо, послушать пѣсенъ, покалякать, поиграть съ мастерами въ шашки.

Теперь онъ не ходитъ на фабрики и рудники, а не ходитъ потому, какъ онъ говоритъ: ребятамъ завидно, что я на свободѣ: при мнѣ тоже старики-то не любили мѣшать имъ. Все его занятіе теперь состоитъ въ томъ, что онъ нянчится съ дѣтьми, особенно съ дѣтьми внука Петра, котораго онъ такъ любитъ, что всѣ удивляются этому. Но эта любовь особенно не нравится внучкамъ и внукамъ, которые завидуютъ Петру потому, что Онисимъ Иванычъ всѣ деньги отдаетъ Петру, а не дѣлитъ поровну. Старикъ хорошо знаетъ эту непріязнь, но говоритъ: за то я ихъ не поблажаю, что они всѣ на меня разсчитываютъ, а они попробовали бы по моему тянуть лямку, да мудрить съ начальствомъ.

Кромѣ этого, внукъ тертый калачъ: мало того, что онъ прошелъ всѣ мытарства въ заводѣ, но два года работалъ на золотыхъ пріискахъ и вполнѣ изучилъ это дѣло. На промыслахъ у него много знакомыхъ рабочихъ, и всѣ они знаютъ, гдѣ есть золото, но хранить или пользоваться этимъ золотомъ имъ воспрещено. Вотъ они и везутъ его Петру Оглоблину, а Петръ Оглоблинъ возитъ его въ городъ и тамъ по секрету продаетъ купцамъ и потомъ деньги отдаетъ рабочимъ, которые даютъ ему проценты за хлопоты. Даже въ городѣ есть такой купецъ, который имѣетъ золотой пріискъ и на этомъ пріискѣ значится подрядчикомъ дѣдушка Онисимъ; но на этомъ пріискѣ золота нѣтъ, никто не работаетъ, а золото набирается въ кружку съ разныхъ пріисковъ и покупается отъ разныхъ рабочихъ очень выгодно. Даже дѣдушка Онисимъ заключаетъ условіе съ самимъ управителемъ на доставку золота, но самъ этимъ не занимается, а предоставляетъ внуку, который большую часть времени проводитъ на пріискахъ. И если управитель спроситъ его:

— А что ты, дѣдушка Онисимъ, не на пріискахъ?

— Ой, куды мнѣ! Кости болятъ. Внучка послалъ.

— Плутъ же ты, Онисимъ. Чай тряхнуть домъ-то—золото лопатой греби.

— Ну и ты хорошъ: вмѣсто двухъ рублей семи гривенъ, полтора цѣлковыхъ за золотникъ платишь. Какъ я расписываюсь-то?

— Ну-ну! Ты, старый коршунъ, тоже не избѣгнешь кромѣшной.

— Я за правду стою; а вотъ ты неправдой-то сколь нажилъ. Мнѣ только стоитъ дунуть генералу, такъ и праху-то твоего не останется: вѣдь генералъ-то здѣсь управителемъ былъ...

И помалчиваетъ управитель. Помалчиваетъ и дѣдушка Онисимъ.

Квартира № 25.

(Разсказъ чиновника).

Во мнѣ очень много хорошихъ качествъ, и если бы таковыя были у всѣхъ людей,—на землѣ были бы благоденствіе, миръ и тишина.

Первое. Я человѣкъ благородный, должностной, но еще не старъ годами и не безобразенъ на лицо. Хотя я и лысъ, но и Сократъ тоже былъ лысый. Себя я никакъ не приравняю къ низшей братіи; но по средствамъ моимъ, имѣю необходимость жить въ кругу этой мелюзги, которая мною даже интересуется...

Безпорядочности, по своему благородству, я ни въ комъ не терплю и всякій казусъ вывожу на свѣжую воду,—вѣдь я фельетонистъ.

Второе. Живу я по часамъ: встаю, ѣмъ, въ опредѣленное мною время, и если бы я имѣлъ власть надъ подчиненными, и ихъ къ тому пріучилъ бы, потому-что это влечетъ къ здоровью и долголѣтію человѣка.

Третье. Люблю во всемъ порядокъ, даже если кухарка поставитъ сапоги носками врозь—обругаю. И ужъ если я что сказалъ, то непремѣнно исполню.

Четвертое. Люблю хорошо поѣсть, поспать по-русски, даже и на службу ношу съ собою ржаной сухарь, посыпанный солью.

Пятое. Люблю тишину; не терплю дракъ, ссоръ, пѣсенъ, скрипки, ребячьяго писка, и потому выбираю квартиру съ трудомъ.

Шестое. Съ квартиры на квартиру переѣзжать не люблю, и поэтому мною квартирныя хозяева дорожатъ и исполняютъ всѣ мои малѣйшія требованія.

Седьмое. Читаю смѣшныя штучки спросонокъ, а политику для того, чтобы скорѣе заснуть. Учеными предметами не занимаюсь, потому-что я достаточно учился въ заведеніяхъ и очень хорошо знаю, что меня уже экзаменовать не будутъ.

Всѣ эти пункты я свято чту и дивлюсь своей мудрости.

Жилъ я на одной квартирѣ три года; занималъ комнату за восемь рублей. Комната большая, въ два окна и прожилъ бы еще, можетъ-быть, долго, да не знаю, отчего-то мнѣ сдѣлалось скучно... Ни одного такого человѣка нѣтъ, чтобы можно было такъ провести время, чтобы спалось, никакая политика не можетъ усыпить меня. Все мнѣ думается, что сгорю. А это мнѣ стало представляться съ тѣхъ поръ, какъ я ночью въ моей комнатѣ дымъ почуялъ. Ну и пошелъ въ 18 Зарень, Серпень *) 1866 г. искать квартиры. Наконецъ, вечеромъ нашелъ, да еще двѣ комнаты, за пятнадцать рублей.

Комнаты высокія, сухія, теплыя, съ мебелью. А такъ какъ я самъ могу занимать одну комнату,

*) Календарь, напечатанный въ Москвѣ, въ типографіи Бочарова и К°.

то въ другую найду компаньона изъ чиновниковъ и возьму съ него восемь рублей. Только она на дворъ—и квартира въ пятомъ этажѣ; но къ высотѣ я привыкъ и, такъ какъ я человѣкъ одинокій, по гостямъ не шатаюсь, то и люблю наблюдать за обитателями противоположныхъ противъ моихъ оконъ квартиръ: сквозь противоположныя стекла явственно видно, если нѣтъ занавѣсей, и я даже для этой цѣли имѣю отличную подзорную трубку, купленную мной на Семеновскомъ рынкѣ за безцѣнокъ.

Хозяйка молодая, милая, вострая и, какъ видно, на счетъ квартиръ бойкая. Посмотрѣлъ на доску, что у воротъ виситъ; значится: «кв. № 25 А. М. Гаврилова». Значитъ женщина хорошая, коли и на доску попала.

Переѣхалъ, устроился и испытывалъ большую радость: я новый жилицъ, меня не знаютъ, да и я на новосельи. Пересмотрѣлъ всѣ углы, попробовалъ замки, посмотрѣлъ въ замочную дыру дверей къ хозяйкѣ, комодъ поставленъ. Это меня обрадовало: хозяйка стыдливая и, должно быть, женщина хорошая. Кухарка принесла самоваръ; какой-то уродъ: безобразная, грязная, — точно изъ деревни; ходитъ неловко, босикомъ, сопитъ...

— Ты не изволь являться ко мнѣ босикомъ,— полъ загрязнишь, — сказалъ я, а она хихикнула, отворотяся въ уголъ.

Напился чаю въ хорошемъ расположеніи духа. Тишина. Кухарка точно забыла о самоварѣ.

Въ хозяйской комнатѣ насвистываетъ мужчина.

Это мнѣ не понравилось; я думалъ о томъ: не выиграю ли я нынѣ двѣсти тысячъ и какъ я буду жить тогда?

Сталъ раздѣваться. Вдругъ кто-то стучитъ.

— Кто?

— Самоваръ...—грубо сказалъ кто-то.

Это меня взбѣсило, однако я велѣлъ подождать: надѣлъ брюки, сапоги, халатъ. Представьте —кухарка и папироску куритъ?!.

— Не изволь ко мнѣ являться безъ зову. Слышишь?—сказалъ я.

— Слышу, — сказала кухарка, косо глядя на меня.

Когда она вышла, я услышалъ разговоръ въ кухнѣ. Подошелъ къ хозяйской двери на пальцахъ ногъ, наставилъ ухо.

— Ты ему не говори,—говорилъ мужчина.

— Слышу,—говоритъ кухарка.

— А завтра денегъ попроси.

— А Александра Михайловна?

— Ты ей не сказывай.

Шельма какая-то!—подумалъ я и легъ,—держи карманъ! не такихъ видали... Только что же это: «ты ему не говори...» Тайна!

Заснулъ я сладко и проспалъ ровно до пяти. А въ пять часовъ я уже встаю. Вдругъ звонокъ.

Кто-то широко зѣвнулъ, отворилъ двери, зашелестѣло платье.

— Дома Павелъ? — спросилъ женскій голосъ, похожій на хозяйкинъ.

— Ушодши.

— Свинья!.. Когда онъ ушелъ?—услышалъ я вполнѣ хозяйскій голосъ.

— Часу въ одиннадцатомъ.

Въ хозяйской комнатѣ недолго раздѣвалась хозяйка, что-то звенѣло, звенѣли мѣдныя деньги, шурчали кредитные билеты.

«Богатая,—думалъ я.—Должно быть она изъ клуба», —рѣшилъ я и, открывъ форточку, сталъ глядѣть внизъ: высь страшная, упадешь — разобьешься; въ противоположныхъ окнахъ вездѣ занавѣсы спущены, только въ кухняхъ столы, посуда на столахъ и печки видны.

Скучно. Читать нечего. Сталъ перебирать платья, потомъ напился чаю, ушелъ на службу, а тамъ нашелъ себѣ жильца, который и переѣхалъ вечеромъ.

Жилецъ мой человѣкъ смирный, молодой, домосѣдъ: послѣ обѣда спитъ, вечеромъ бумаги переписываетъ.

Такъ я и прожилъ недѣлю. Нѣсколько разъ наблюдалъ и за противоположными жильцами: окна большею частію занавѣшены всегда, только въ кухняхъ барская прислуга и видна: горничныя ничего, глазки мнѣ строютъ, ну и я имъ, только какъ-то совѣстно ближе съ ними сойтись, да и лакеи сурово глядятъ на меня.

Стыдно даже на ихъ окна глядѣть. Въ верхнемъ этажѣ живетъ семейство, дѣвицъ нѣтъ; хозяйка часто сидитъ у окна, только разъ долго указывала на меня своему мужу и хохотала. Осрамить хотѣла, ну я сталъ наблюдать за ними по ночамъ, а днемъ барабаню въ стекла и поглядываю въ нижніе этажи: не выглянетъ ли красотка.

Мой жилецъ въ восторгѣ отъ одной горничной и говорилъ, что онъ непремѣнно достигнетъ своей цѣли, да бѣдный захворалъ: въ больницу уѣхалъ.

Прожилъ я еще недѣлю. Отъ кухарки я узналъ, что хозяйка дѣвица, живетъ съ братомъ, играетъ въ клубѣ и поэтому такъ поздно возвращается домой.

Меня въ это время, благодаря скверному моему поведенію подслушивать и подглядывать, вотъ что волновало: во-первыхъ, разъ братъ хозяйки просилъ у нея денегъ: проигрался говоритъ, на бильярдѣ. Она не даетъ, онъ ласкается, потомъ и говоритъ: «да вѣдь ты каждый день достаешь, даже къ тебѣ «гости» ходятъ». Вотъ эти гости меня безпокоили: какіе гости, зачѣмъ? Во-вторыхъ, разъ я ее увидалъ возвращавшеюся домой въ шапочкѣ съ перомъ, — точь-въ-точь камелія. Однако ничего худого въ домѣ не случалось. Кромѣ этихъ подозрѣній меня еще то занимало: что дѣлаетъ ея братъ? что дѣлаетъ она? Какъ ни пойду я на службу — она спитъ, даже въ праздники встаетъ въ два часа. Кухарка говоритъ: не знаю.

Черезъ двѣ недѣли, часу эдакъ въ седьмомъ, она приходитъ ко мнѣ. Я радъ, попросилъ ее сѣсть.

— Что васъ, сосѣдъ, не видно на Невскомъ?— спросила она меня.

— А вы часто гуляете?

— Часто.—Она потупила глазки.—Вы бы къ намъ... ко мнѣ приходили.

— Неловко.

— Пустяки... Приходите.

Сердце мое билось радостно.

— Не можете ли вы моего брата пристроить къ мѣсту? Онъ, бѣдняжка, вотъ ужъ третій годъ за штатомъ.

— Если вакансія откроется, непремѣнно постараюсь похлопотать. Чѣмъ же онъ теперь живетъ?

— Да на бильярдѣ играетъ.

— Выигрываетъ?

— Нѣтъ... Я содержу его.

— Странно! Что же онъ самъ не хлопоталъ?

— Вы знаете, что нужна протекція.

Мы пять минутъ молчали: мнѣ жалко стало ее; она такая печальная. А красивая, такъ бы и обнялъ...

— Извините, что я васъ побезпокоила. И она ушла.

Я подумалъ: зачѣмъ это она изволила приходить! Неужели о братѣ хлопочетъ?

Немного погодя, стучитъ ко мнѣ кухарка и говоритъ:

— Баринъ!

Я уже научилъ кухарку, какъ называть меня.

Кухарка подаетъ отъ хозяйки записку. Прочиталъ, проситъ десять рублей: нужно де завтра за квартиру платить. А я имѣю такое правило: за квартиру не платить впередъ, а понемногу, потому-что я могу и раньше мѣсяца съѣхать. Нечего дѣлать, одѣлся, пошолъ самъ. Комната въ два окна, окна занавѣшаны кисейными занавѣсками, зеркало между оконъ, комодъ загораживаетъ дверь въ мою комнату, противъ оконъ кровать съ двумя подушками и занавѣшена голубой занавѣсью. Однимъ словомъ, комната съ женскими принадлежностями. У зеркала хозяйка пудритъ лицо, а братъ ея, человѣкъ лѣтъ 25, сидитъ на окнѣ.

— Извините, что я...—сказала хозяйка и рекомендовала меня брату.

— Вы просите денегъ... Я, пожалуй, видя ваше положеніе, могу вамъ заплатить пять рублей. Да и мой товарищъ въ больницѣ.

— Ради Христа! выручите!—взмолилась хозяйка.

Дѣлать нечего, измѣнилъ своимъ правиламъ, далъ десять рублей.

Черезъ два часа хозяйка ушла въ пальто и шляпѣ съ перомъ, а за ней ушелъ и братъ, вѣроятно въ трактиръ.

— Странные люди! думалъ я, сидя на окнѣ и смотря на кухарокъ.

— Вы извольте, мадамъ, раньше приходить. Пущать васъ не велѣно... А мужчинамъ велѣно ноги обламывать,—говорилъ дворникъ сердито моей хозяйкѣ въ воротахъ. Та ему что-то шепнула, онъ хихикнулъ и пошелъ за ней.

— На Невскій пошла.

— Надо любовника-то содержать,—говорили кухарки въ форточки. Меня точно обварило. Позвалъ я нашу нашу кухарку, спросилъ: «кто такая наша хозяйка?» Та переминалась съ ноги на ногу, клялась, что Александра Михайловна благородная, домъ имѣетъ на Петербургской, только другая сестра завладѣла домомъ.

Слова кухарокъ привели меня въ сильное безпокойство, и я долго не могъ заснуть, думая: неужели моя хозяйка скверная женщина? Но мнѣ почему-то жалко ея стало, и я разсердился на кухарокъ нижнихъ этажей, которыя, какъ фуріи, издѣваются надъ верхними жильцами, и даже я разъ услышалъ, какъ одна произнесла: «поглядите: лысая собака сверху выглядываетъ!..»

Хотѣлъ было жаловаться управляющему домомъ, да я къ нему питаю презрѣніе за то, что за прописку контромарки съ меня слупили лишній гривенникъ, и онъ никогда, встрѣчаясь со мной, не кланяется мнѣ.

Прошла еще недѣля. Все обстояло благополучно. По вечерамъ клалъ на окно подушку, садился на нее и наблюдалъ—скучно, дрянь какая-то; горничныя пальцами въ меня тычутъ, хохочутъ. Въ теченіе этого времени я успѣлъ навести отъ кухарки нашей справки о томъ, что хозяйка переѣхала въ этотъ домъ недѣлей раньше моего прибытія къ ней и за квартиру платитъ она, т.-е. за три комнаты и кухню, пятнадцать рублей.

— Значитъ она на мой счетъ живетъ... Ну гдѣ же справедливость?

Миновало ровно три недѣли. У меня болѣло горло, и я не могъ итти на службу.

Отворить окно боюсь; однако сѣлъ на окно.

Вдругъ слышу въ хозяйской комнатѣ крикъ:

— Воръ! мазурикъ!—кричала хозяйка.

— Ты подлая! по Невскому шляешься.

Потомъ послышались оплеухи, полетѣла откуда-то посуда.

Ну-съ... дальше я и продолжать не могу. Такого сраму я еще никогда не видалъ и не слыхалъ. Вѣдь даже изъ противоположныхъ оконъ смотрѣли на нашу квартиру горничныя, лакеи, кухарки; во многихъ мѣстахъ открылись занавѣски, и оттуда, какъ сычи, выглядывали невиданныя мною доселѣ барышни и барыни. Я отворилъ окно.

— Смотри, смотри, какъ онъ ее плеткой.

— Ахъ срамъ! Какъ же она позволяетъ бить себя, коли кормитъ? Мерзавецъ!

— А квартирантъ-то? Лысый-то—галдятъ въ разныхъ этажахъ.

Меня взорвало, и я пошелъ въ кухню. Хозяйка сидитъ на окнѣ и плачетъ; братъ ея въ брюкахъ, жилеткѣ и бѣлой рубашкѣ, подходитъ къ ней, запираетъ окно, но она не даетъ.

— Сударыня!—сказалъ я хозяйкѣ.

— Не ваше дѣло! Извольте въ свою комнату отправляться!—крикнулъ на меня братъ хозяйки.

Хозяйка ничего не сказала, а я такъ былъ разсерженъ, что тотчасъ же ушелъ искать квартиру.

Квартиры я не могъ найти, да и жалко деньги бросить. Вѣдь вошелъ же въ Петербургѣ обычай платить за квартиры деньги впередъ?..

Напился я у знакомаго чаю, разсказалъ ему эту

сцену, тотъ еще совѣтуетъ примазаться къ хозяйкѣ...

Вотъ дуракъ-то!

И что же бы вы думали? Прихожу—братъ и сестра пьютъ чай. Приглашаютъ и меня, хохочутъ.

— Извините, что давеча мы маленько пошумѣли. Прикажете чаю?—говорила хозяйка и поставила для меня стулъ.

Я былъ въ шинели да и очень разстроенъ и ушелъ къ себѣ. Немного погодя, вдругъ братъ хозяйки стучитъ въ дверь и приглашаетъ меня.

— Свинья!—сказалъ я въ сердцахъ громко.

Такъ и не пошелъ.

А на другой день вотъ какая исторія и вышла.

Вдругъ хозяйкинъ братъ приходитъ ко мнѣ утромъ и говоритъ:

— Позвольте къ мировому судьѣ.

— Что такое?

— Къ мировому судьѣ. Меня обидѣла сестра, вы слышали все, такъ по совѣсти покажите, что слышали.

Словомъ присталъ, какъ банный листъ. Я ни разу еще не бывалъ у мировыхъ судей и, хотя по разсказамъ другихъ писалъ въ газетахъ сценки, но, говорю, не бывалъ: служба не дозволяетъ, и рѣшился разъ снеглижировать службой.

Входимъ: я, братъ хозяйки, кухарка и еще какая-то дома.

— Г. судья,—говоритъ братъ хозяйки:—этотъ господинъ (указываетъ на меня) нашъ жилецъ, онъ вчера вечеромъ обозвалъ меня свиньей. Я,—говоритъ,—дворянинъ, прошу васъ взыскать за безчестіе.

— Да развѣ ты не подлецъ!—вырвалось у меня.

Публика хохочетъ: значитъ, поняла, что я хорошо сдѣлалъ, что обругалъ брата хозяйки.

Судья и говоритъ мнѣ:

— Такъ какъ вы въ присутствіи моемъ и постороннихъ людей нанесли оскорбленіе бранью дворянину Плошкину, то я приговариваю васъ къ штрафу на основаніи такой-то статьи.

— Какъ, говорю?

— Г. Плошкинъ, сколько вы требуете за оскорбленіе?—спрашиваетъ судья брата хозяйки.

— Пятьдесятъ рублей.

— Когда вы можете уплатить эти деньги?—спрашиваетъ меня судья.

Я такъ былъ пораженъ, что рѣшительно не зналъ, что и сказать.

Вотъ оно дѣло-то какое! Ни за что ни про что теперь вычитаютъ изъ моего жалованья пятьдесятъ рублей...

Вотъ какія бываютъ въ Петербургѣ квартиры и хозяева. Другу и недругу заказываю быть осторожнѣе въ выборѣ квартиръ, и теперь я имѣю еще восьмое правило—спрашивать дворниковъ: какого поведенія хозяева. А то если каждый мѣсяцъ будешь платить по пятидесяти рублей штрафу, совсѣмъ собьешься съ толку.

Сутки въ казенной квартирѣ.

Въ Петербургѣ писаря нѣсколькихъ вѣдомствъ, женатые и холостые, живутъ на казенныхъ квартирахъ. Попасть на казенную квартиру довольно трудно тому, кто не отличился чѣмъ-нибудь или чѣмъ-нибудь не нравится столоначальнику, отъ котораго зависятъ всякія награды и всякія поощренія. Зато ужъ если, напримѣръ, холостой получилъ казенную квартиру, то онъ старается не только обзавестись своимъ хозяйствомъ, жениться, но даже и покончить свою служебную дѣятельность, закрѣпивъ эту квартиру за своими дѣтьми мужескаго пола, которыя обыкновенно поступаютъ на службу въ то же министерство и въ тотъ же департаментъ, гдѣ служатъ и отцы. Переходятъ квартиры и къ зятьямъ, живущимъ или въ томъ же зданіи въ своей квартирѣ, или у кого-нибудь на хлѣбахъ и, въ этомъ случаѣ, одна квартира отдается въ наймы постороннимъ, а въ другой, состоящей изъ двухъ или трехъ комнатъ, помѣщается семейство служащаго писаря. Бываетъ еще и такъ, что холостой писарь, получающій жалованья по второму или первому разряду рубл. 16 или 25, предпочитаетъ за лучшее отдать свою казенную квартиру частному лицу за 18 или 20 руб. въ мѣсяцъ, а самъ помѣщается на Петербургской сторонѣ или на Пескахъ, въ меблированной комнаткѣ, за которую платитъ пять или семь рублей. А такъ какъ отъ хозяевъ казенныхъ квартиръ эти квартиры не отнимаютъ, то въ настоящее время довольно трудно попасть въ нихъ, такъ какъ кандидатовъ въ каждомъ министерствѣ или д—тѣ (тамъ гдѣ полагаются квартиры) много. Злобствуя другъ на друга, они всякими мѣрами изловчаются, чтобы какъ-нибудь попасть на вакансію.

Я не буду говорить о большихъ квартирахъ, квартирахъ семейныхъ людей, съ разными любовными похожденіями, а только обрисую одну холостую квартиру одного изъ департаментовъ какого-нибудь министерства.

Въ зданіи подразумѣваемаго министерства множество квартиръ. Эти квартиры въ одну и нѣсколько комнатъ занимаются людьми, преимущественно служащими въ самомъ министерствѣ; но особенно изъ нихъ выдаются двѣ квартиры *холостыя*. Такъ какъ жизнь въ этихъ холостыхъ квартирахъ устроена одинаково, и разницы между тѣми и другими жильцами нѣтъ, то я буду разсказывать только объ одной изъ нихъ.

Эта квартира находится въ пятомъ этажѣ, на сто двадцать четвертой ступенькѣ отъ мостовой. Лѣстница хотя и широкая, но грязная и вонючая.

Квартира состоитъ изъ трехъ комнатъ. По виду отличается отъ семейныхъ квартиръ тѣмъ, что въ каждой комнатѣ стоятъ по три кровати, заставленныя каждая плетеными ширмами; въ каждой комнатѣ стоятъ по три стола, по три комода и по нѣскольку стульевъ. На стѣнахъ зеркалъ

нѣтъ, а есть нѣсколько литографированныхъ картинъ и портретовъ, на окнахъ также нѣтъ ни цвѣтовъ ни занавѣсокъ. Судя по ширмамъ, всякій можетъ заключить, что за каждой ширмой скрывается писарь: тутъ собственно настоящая его квартира, а все остальное пространство за ширмами принадлежитъ обществу, состоящему изъ трехъ писарей, живущихъ въ этой комнатѣ, исключая столовъ и комодовъ, на которыхъ преимущественно занимается ихъ владѣлецъ, и уже другой изъ трехъ не имѣетъ права ни заниматься на чужомъ столѣ, ни обѣдать на немъ, ни класть на комодъ или въ комодъ вещи, такъ же какъ не имѣетъ права въ отсутствіе товарища распорядиться его *избушкой*—мѣстомъ, огороженнымъ ширмами. Комнаты проходныя.

Живутъ въ нихъ девять человѣкъ. Одни изъ нихъ съ грѣхомъ пополамъ выучились грамотѣ, другіе окончили курсъ даже въ уѣздномъ училищѣ. Всѣ они пріѣзжіе, во вниманіе за хорошій почеркъ и по случаю перевода, имъ и дали казенныя квартиры; на эти квартиры петербургскому уроженцу попасть невозможно, да и пріѣзжему попасть довольно трудно, такъ какъ общество писарей, состоящее изъ полнаго комплекта, т. е. девяти человѣкъ, никакъ не рѣшится пустить къ себѣ еще десятаго и такимъ образомъ стѣснить себя, а если одинъ изъ девяти выбудетъ на постороннюю квартиру или куда-нибудь, то его мѣсто считается принадлежащимъ остальнымъ двумъ, жившимъ съ нимъ въ одной комнатѣ, и на мѣсто выбывшаго никто не принимается, потому-что выбывшій, можетъ-быть, захочетъ снова водвориться въ казенной квартирѣ. Когда онъ умретъ или выйдетъ въ отставку, тогда дѣло другое.

Прежде, говорятъ, въ этой казенной квартирѣ помѣщалось человѣкъ двадцать, но потомъ эта цифра все болѣе и болѣе уменьшалась и, наконецъ, дошла до девяти, и девять чиновниковъ продолжаютъ уже жить четыре года.

Перебраться изъ комнаты въ комнату также довольно трудно, такъ какъ нужно спросить обитателей другой комнаты, согласны ли они принять такого-то къ себѣ; да и тотъ, кому сдѣлано это предложеніе, нескоро согласится, потому-что обыкновенно привыкаетъ къ одному мѣсту и къ своимъ товарищамъ, которые только любятъ переселяться въ третью комнату, черезъ которую уже никто не проходитъ, значитъ, меньше стуку и меньше надзору со стороны посторонняго человѣка или проходящаго товарища.

Шесть часовъ утра. Кухарка, получающая жалованья четыре рубля, кофе и сахаръ по фунту въ мѣсяцъ, затопивши плиту, умылась, причесалась и пошла въ комнаты.

На одной кровати нѣтъ никого. Она подошла къ другой. На кровати спятъ двое, головы закрыты, но изъ-подъ одѣяла вышли три ноги. На полу лежитъ кринолинъ.

— Сава Савичъ!—сказала кухарка и ткнула указательнымъ пальцемъ правой руки въ одѣяло.

— Пора вставать: шесть давно било,—говоритъ кухарка.

Одѣяло распахнулось: рыжеволосый мужчина и черноволосая женщина лежали спинами другъ къ другу.

Мужчина утиралъ глаза руками и безсмысленно глядѣлъ на кухарку. По глазамъ и по лицу замѣтно, что онъ вчера изрядно выпилъ.

— Который часъ?—спросилъ онъ хриплымъ голосомъ.

— Да скоро семь. Вы въ шесть велѣли разбудить... Я будила, будила, не могла добудиться.

— Самоваръ,—сказалъ мужчина, не приказывая, а такимъ тономъ, который означалъ: поставленъ или нѣтъ самоваръ.

Кухарка пошла въ другую комнату. Тамъ всѣ спали. Забравъ три пары сапогъ, кухарка отправилась въ третью, послѣднюю комнату и, какъ только вошла въ нее, остановилась съ изумленіемъ.

За среднимъ столомъ сидѣлъ писецъ Козловъ въ исподнемъ бѣльѣ, босой. Сидѣлъ онъ на стулѣ по-собачьи, т. е. ноги были на стулѣ. На столѣ стоялъ полуштофъ, въ которомъ было еще съ двѣ рюмки водки; онъ держалъ въ правой рукѣ рюмку, а въ лѣвой чеснокъ и, повидимому, думалъ: пить ли ему или нѣтъ; онъ былъ уже пьянъ.

— Что вы это, Степанъ Иванычъ?!—сказала кухарка.

Степанъ Иванычъ залпомъ выпилъ изъ рюмки, замоталъ головой, сталъ отплевываться и, наконецъ, произнесъ:

— Съ пятаго часу! И онъ торжественно взялъ въ руку полуштофъ и стукнулъ имъ по столу.

— Покоя мнѣ не далъ, Агафья: съ четырехъ часовъ съ полуштофомъ возится,—проговорилъ человѣкъ изъ-за ширмъ, стоящихъ ближе къ двери. За третьими ширмами въ углу возился третій человѣкъ и, наконецъ, вышелъ оттуда. Это былъ высокій худощавый мужчина, съ густыми баками и коротенькими черными волосами.

— Раненько, раненько, Степанъ Иванычъ! —сказалъ онъ, проходя мимо Козлова.

— А вы что думаете: я не пойду на службу? Какъ стеклышко явлюсь.

— То то, четвертый ужъ день являешься.—И высокій человѣкъ ушолъ умываться.

Степанъ Иванычъ еще выпилъ рюмку водки и пошолъ къ своей кровати,—его пошатывало. Онъ воротился къ столу и взялъ съ собой полуштофъ и рюмку. Дорогой онъ ворчалъ: а подь ты къ лѣшимъ!.. Агафья, водки!.. и хохоталъ.

За ширмами Степана Иваныча находились: кровать съ соломеннымъ тюфякомъ, двумя подушками и одѣяломъ, на стѣнѣ висѣли два сюртука, брюки, гитара, халатъ; около кровати стоялъ столъ, на которомъ находилось зеркало, коробки, баранки, бумаги и разная мелочь; на ширмы наклеены разные портреты.

— Саша!.. слушай-ко, Саша?—проговорилъ Степанъ Иванычъ, когда легъ на кровать.

— Ну?—сказалъ лежащій у дверей.

— Разбуди въ десять часовъ.

— Ладно.

Затѣмъ въ этой и въ другой комнатѣ водворилась тишина, только въ крайней разговаривали въ три голоса, разговоры шли о вчерашней карточной игрѣ. Минутъ черезъ пять вдругъ кто-то замѣтилъ:

— Семенъ Васильичъ, вы не извольте приглашать къ себѣ дамъ.

— А что такое?! Развѣ я въ своемъ углу не властенъ дѣлать то, что мнѣ хочется.

— Но однако неприлично. Мы христіане.

— Я не къ вамъ пришла,—сказала дама.

— Молчать!—заревѣлъ кто-то.

— Да Яковъ Петровичъ и съѣдетъ отъ васъ,— возразила дама.

— Не съ вами говорятъ.

Что-то зазвенѣло, но скоро во всей квартирѣ настала тишина.

Вдругъ захохотала кухарка: въ кухню является отсутствующій квартирантъ въ сюртукѣ, безъ фуражки. Лицо, сюртукъ и брюки были забрызганы грязью.

— Пальто сняли! часы взяли...—говорилъ онъ.

— Да ты гдѣ былъ!

— Въ паркѣ Александровскомъ.

Товарищи захохотали. Онъ началъ разсказывать свои похожденія, характеризующія холостого человѣка, живущаго на казенной квартирѣ: денегъ мнѣ много нельзя имѣть, потому я говорилъ вамъ, какъ только получу награду, заведу платье. Получилъ, а вы съ поздравкой. Тутъ и пошло—и въ трактиръ, и въ сады... И для чего? только пить, да заставлять играть. А тутъ гляжу и бумажникъ гдѣ-то вытащили. А ужъ вчера не помню, какимъ я манеромъ у басейнаго пруда очутился... Проснулся—лежу передъ лицомъ Всевышняго... Всталъ и фуражки нѣтъ, и часовъ нѣтъ, и денегъ нѣтъ... Иванъ Иванычъ, дай опохмѣлиться и свою фуражку...—заключилъ онъ, обращаясь къ высокому человѣку.

Тотъ далъ десять коп. и фуражку.

Мало-по-малу обитатели квартиры встали всѣ, кромѣ Степана Иваныча, котораго не будили, потому-что еще не было десяти часовъ, и расхаживали по комнатамъ въ халатахъ... Пришедшій безъ пальто и безъ часовъ чистился и разсказывалъ, какъ его чортъ угораздилъ вчера шататься по Петербургской сторонѣ. Товарищи хохотали и дразнили его то пальтомъ, то часами.

Время шло скучно, потому-что говорить было рѣшительно не о чемъ; заговоритъ кто-нибудь объ игрѣ на бильярдѣ или о вчерашней прогулкѣ, да такъ и покончитъ на трехъ словахъ, потому что слушатели только отвѣчаютъ: мм!

Впрочемъ, всѣ поперемѣнно просили Иванова разсказать, какъ онъ ночевалъ на свѣжемъ воздухѣ и какъ всталъ и пошелъ безъ фуражки, и это развлекало всѣхъ. Онъ просилъ товарищей не разсказывать объ этомъ обстоятельствѣ никому въ д—тѣ, и всѣ побожились, что не выдадутъ...

Пьютъ чай, каждый отдѣльно, за своимъ столомъ; пьютъ медленно, стакана по четыре и по пяти, и въ это время переговариваются другъ съ другомъ о чемъ-нибудь, но неохотно.

Такъ продолжается до десяти часовъ, когда начинаютъ собираться на службу. Начинаютъ трясти Степана Иваныча, но онъ спитъ какъ мертвый. Товарищи издѣваются надъ нимъ.

— Положите его на полъ,—говоритъ рыжеволосый.

— Нѣтъ, на полъ не стóитъ: лучше на его столъ и покроемъ простыней.

Товарищи хохочутъ и дѣлаютъ такъ, какъ присовѣтовалъ Злобинъ, низенькій плѣшивый чиновникъ.

— Вотъ, потомъ не насмѣхайся надъ тѣмъ, кто старше тебя!—говорилъ Злобинъ, улыбаясь, указывая правой рукой на спящаго Степана Иваныча. Кухарка, пришедшая посмотрѣть на эту сцену, звонко хохотала.

— Такъ и надо, такъ и надо! зачѣмъ въ прошлый разъ обозвалъ меня негодной женщиной,— сказала она.

Товарищи Козлова долго хохотали надъ нимъ и веселые разбрелись кто на службу, кто погулять до двѣнадцати часовъ. Остались только двое: высокій человѣкъ, живущій въ углу третьей комнаты, Иванъ Иванычъ Степановъ и Алексѣй Яковлевичъ Сутугинъ, человѣкъ двадцати шести лѣтъ, считающійся женскою половиной этого дома за красавца, а мужчинами за волокиту. Онъ жилъ во второй комнатѣ и теперь читалъ книгу. Степановъ сидѣлъ въ сюртукѣ за своимъ столомъ и считалъ что-то на счетахъ. Къ нему подошла кухарка.

— Какъ ты думаешь, что сегодня готовить?— спросилъ Степановъ кухарку.

Кухарка хихикнула и сказала: не знаю.

— Нѣтъ однако: супъ надоѣлъ...

— Да супъ Егоръ Матвѣичъ любитъ.

— Мало ли что онъ любитъ... Алексѣй Яковлевичъ, что по вашему сварить сегодня?—крикнулъ Степановъ Сутугину.

— Лапшу.

— То, то, то!.. Прекрасно... Ну, сколько тутъ муки потребуется?

Написавъ чего нужно для лапши, Степановъ написалъ въ книжку требованіе изъ лавки муки, масла, мяса и пр. и, выдавъ кухаркѣ денегъ, ушелъ.

Иванъ Иванычъ живетъ въ этой квартирѣ давно и, вотъ уже шесть лѣтъ, какъ онъ состоитъ въ чинѣ коллежскаго секретаря. По этому ли праву старшинства или потому, что его физіономія располагаетъ къ себѣ другихъ, только во всей квартирѣ онъ считается чѣмъ-то въ родѣ управителя. Такъ онъ разрѣшаетъ споры товарищей, всѣ слушаются его совѣтовъ, онъ унимаетъ ссоры и, главное—управляетъ столомъ, а такъ какъ пищу приготовляетъ кухарка, то кухарка находится въ подчиненіи у Степанова и только его одного боится. Квартиранты всѣ обѣдаютъ дома, и каждый платитъ Ивану Иванычу за пищу въ мѣсяцъ по семи рублей; кому и не нравится

*

столъ, и тотъ не протестуетъ, зная очень хорошо, что протестъ ни къ чему не поведетъ. Также товарищи не заглядываютъ въ его расходную книжку и на доходы его отъ стола смотрятъ снисходительно изъ уваженія къ его долголѣтней службѣ.

Иванъ Иванычъ человѣкъ трезвый, въ карты не играетъ, въ пьяныхъ компаніяхъ не участвуетъ и, хотя это иногда и не нравится товарищамъ, и они, пьяные, частенько ругаютъ его жидомъ, но трезвые всегда относятся къ нему съ почтеніемъ и называютъ даже добрымъ человѣкомъ, потому что онъ частенько даетъ въ займы денегъ по три процента на рубль и дешево продаетъ поношенное платье. Кромѣ этого, въ качествѣ главы въ квартирѣ, онъ можетъ присовѣтовать товарищамъ: выгнать съ квартиры какого-нибудь буяна, пустить или нѣтъ такого-то на вакансію и т. п.

Сутугинъ, почитавши немного книгу, положилъ ее на столъ и сталъ *черкаться* на бумагѣ. Это занятіе продолжалось съ четверть часа. Онъ скучалъ и не зналъ, какъ провести время.

— Агафья!—крикнулъ онъ кухаркѣ.

Кухарка вошла въ комнату.

— Если придетъ Марья Степановна, скажи, что я къ ней зайду завтра... А сапоги чистила?

— Не видите, что ли!—сказала кухарка, указавъ рукой на кровать Сутугина, и вышла.

Сутугинъ сталъ одѣваться. Въ это время въ комнату его вошла пожилая женщина, съ хитрымъ взглядомъ и постоянно передергивающейся физіономіей.

— Здравствуйте, Алексѣй Яковлевичъ... Я было думала, что вы уже ушедши.

— Садитесь.

Начались разговоры о погодѣ, сѣтованія на жару и т. п.

— Ну, какъ дѣла?—спросилъ Сутугинъ женщину.

— Дарья Сергѣевна и руками и ногами...

— Неужели?—спросилъ съ испугомъ Сутугинъ, и лицо его стало блѣднѣе прежняго.

— Прихожу это я вчера утромъ, какъ ейная мать на Сѣнную ушодши... Ну и спрашиваю, эдакъ, околицей: а что молъ, не получили ли вы, Дарья Сергѣевна, письма отъ Сутугина? А она, какъ взглянетъ, чуть-чуть не пронзить хочетъ,—а ты, говоритъ, не свахой ли ужъ сдѣлалась?—Нѣтъ, говорю, просилъ надпомянуть. Она это и говоритъ: скажи ему, что я такихъ писемъ не одинъ десятокъ получала и всѣ въ печку бросила. Я, говоритъ, знаю, на что они мѣтятъ: на деньги маменькины... А я, говоритъ, этого Сутугина давно знаю: у него что ни день, то любовница... Знаю, говоритъ, что онъ не къ одной уже дѣвушкѣ, что въ нашемъ зданіи живутъ, подмазывался...

— Ты бы сказала, что я человѣкъ трезвый, скоро чинъ получу и жалованья получаю до шести сотъ рублей въ годъ,—сказалъ Сутугинъ... Вѣдь она знаетъ, при комъ я служу...

— Говорила. Нѣтъ, говоритъ, я замужъ не пойду: я въ монастырь.

— Зачиталась, значитъ?—произнесъ Сутугинъ съ сердцемъ.

— Когда, говоритъ, мой папенька былъ живъ, за мной все столоначальники ухаживали, да я и на нихъ плевать хотѣла, а какъ онъ умеръ, всѣ и позабыли обо мнѣ. Теперь я и поняла, говоритъ, мужчинъ... А вотъ я лучше тебѣ Переплетчикову совѣтовала-бы взять: вѣдь свой домъ.

— Зато въ Гавани! Штука мнѣ оттуда ходить.

Сваха начала уговаривать Сутугина жениться на дѣвицѣ Переплетчиковой, увѣряя его, что она сама своими глазами видѣла у ея матери много кредитныхъ билетовъ, что домъ можно продать и купить гдѣ-нибудь на эти деньги, хоть на Пескахъ, хоть на Петербургской сторонѣ.

— Да скучно, Анна Ивановна! Ты не повѣришь, какъ я не радъ этому обществу—адъ!.. Просто въ голову ничего нейдетъ. Сядешь писать—нѣтъ!.. Совсѣмъ поглупѣлъ я здѣсь. Погляди-ка!—И онъ потащилъ сваху къ двери въ третью комнату. Та, какъ взглянула, такъ и всплеснула руками.

— Господи! померъ?

— Пьянаго положили, не чувствовалъ! Ну, развѣ могу я жить въ этомъ проклятомъ обществѣ?

— Надо, надо жениться... Такъ сходить туда—къ Переплетчиковой-то?

— Сходи.

Сваха пошла. Сутугинъ надѣлъ пальто; въ кухню вошла смазливенькая дѣвушка годовъ 19-ти, вѣроятно, модистка.

— Маша!!—сказалъ Сутугинъ и поздоровался съ дѣвушкой за руку.

— Такъ-то вы, милостивый государь... Да я васъ на весь дворъ осрамлю...—проговорила дѣвушка, вспыхивая... Вы думаете я ничего не знаю... Мнѣ все извѣстно...

Нецѣломудренный Сутугинъ смѣшался; дѣвушка кричала, плакала, потомъ стала ругаться. Однако Сутугинъ вышелъ чернымъ ходомъ, а дѣвушка осталась въ кухнѣ и стала допытываться правды отъ кухарки.

Это была та Марья Сергѣевна, насчетъ которой Сутугинъ отдалъ раньше прихода свахи приказаніе, и она была уже не первая невѣста Сутугина. Но кухарка ничего не могла присовѣтовать кромѣ того, какъ итти къ мировому судьѣ; съ этою мыслью Марья Сергѣевна ушла.

Во всей квартирѣ сдѣлалось тихо, только на плитѣ въ кухнѣ шипѣла вода. Кухарка угощала кофеемъ своего жениха, какого-то артельщика, и продолжала съ нимъ дружественные разговоры на счетъ ихъ будущей жизни.

Онъ говорилъ, что онъ честный человѣкъ, выпиваетъ только въ свои именины и въ большіе праздники, что у него есть сюртукъ даже повѣе надѣтаго на немъ, и что теперешняго жалованья будетъ хватать, если она сама не будетъ

сидѣть, сложа руки; она говорила, что у нея уже накоплено нѣсколько фунтовъ сахару, есть кой-какія деньжонки, и она, послѣ свадьбы, займется стиркою бѣлья на сторону.

Вдругъ что-то грохнуло. Женихъ вскочилъ отъ испугу, но кухарка, не трогаясь съ мѣста, захохотала.

— Это наше чудовище грохнуло!—сказала она и пошла въ комнаты.

Степанъ Иванычъ поднимался съ полу, когда вошла кухарка.

— Скажи-ка, какъ это я? на столъ-то?!

— Да какъ сидѣли даве у стола, такъ и заснули.

— Неужели?? Черти! И на кровать не могли снести...

Кухарка хохотала и хохоча ушла въ кухню.

Степана Иваныча, какъ говорится, ломало. Хотѣлось и выпить водки, но при самомъ взглядѣ на полуштофъ его тошнило; хотѣлось и выпить чего-нибудь сладкаго или кислаго, чего онъ не зналъ. Вотъ онъ и пошелъ въ халатѣ къ кухаркѣ.

— Чего бы испить?—спросилъ онъ ее.

— Пейте воду,—кадка-то полна.

— Гадость! и Степанъ Иванычъ махнулъ рукой.

— Ну, чаю?

— Не хочу... Нѣтъ, чего бы такого однако?..

— Я почемъ знаю... Молока съ квасомъ хотите?

— Гадость... Стой!.. Чесноку бы.

— Развѣ чеснокъ вода? Уйдите!

Степанъ Иванычъ ушолъ въ свою комнату и сталъ разсуждать вслухъ про свою особу: «ну, что я за человѣкъ? Свинья. Денегъ ни копейки... А на службу, какъ пойдешь: даже совѣстно въ глаза людямъ посмотрѣть. А вѣдь прежде я получалъ шесть рублей и не пилъ. И тамъ я былъ дрянь и здѣсь дрянь... До чину немного... А все таки я пустой человѣкъ. Нѣтъ, они пустые! Они рады посмѣяться надъ товарищемъ, наскажутъ въ д—тѣ, Богъ знаетъ, чего... А зачѣмъ я пью?.. Онъ задумался, но не могъ разрѣшить этого вопроса. Взялъ онъ гитару Степанова, посмотрѣлъ на нее, замѣтилъ, что руки трясутся, и повѣсилъ ее на свое мѣсто.

Полежалъ онъ немного и сталъ одѣваться, но когда сталъ смотрѣться въ зеркало, то смѣшно было на него смотрѣть: то языкъ высунетъ, то отворачивается въ сторону и, высунувъ языкъ на лѣвую сторону, онъ машетъ лѣвой рукой и говоритъ вслухъ: фу!! да будь ты проклятъ! то кланяется зеркалу, или самому себѣ; потомъ, неизвѣстно для чего, онъ сталъ скоблить ножичкомъ языкъ. За этимъ засталъ его пріятель, выгнанный изъ этой же квартиры. Этотъ человѣкъ въ отставкѣ додумался до того, что единственное средство для поправленія своихъ дѣлъ—жениться на дѣвушкѣ съ деньгами. И онъ это сдѣлалъ и помогъ этому Степанъ Иванычъ, который, впрочемъ, въ случаѣ отказа матерью невѣсты его пріятелю, хотѣлъ самъ жениться на этой дѣвушкѣ, у которой, какъ говорила мать, есть и приданое хорошее и три тысячи денегъ въ сиротскомъ судѣ.

— Покорно благодарю, Степанъ Иванычъ! всучилъ!!—кланялся гость.

— Что?—спросилъ пріятеля Степанъ Иванычъ.

— Пойдемъ къ мировому судьѣ.

— Да въ чемъ дѣло-то?

— Нѣтъ, пойдемъ, пойдемъ.

— Да ты видишь, въ нормальномъ ли я положеніи... Да и ты что же это—пріятель еще?

— Да знаешь ли ты, что оказалось: сегодня мать сказала мнѣ, что у нея въ сиротскомъ судѣ лежитъ всего-то на-всего двадцать пять рублей, а что, говоритъ три тысячи, такъ это, говоритъ, вамъ обоимъ во снѣ пригрезилось.

Долго горевали пріятели; хотѣлось выпить обоимъ, но ни у того ни у другого не было ни копейки: Степанъ Иванычъ пропилъ жалованье, хотя въ это время и было седьмое число, а его пріятелю теща не давала ни копейки, потому-что у нея у самой ничего не было.

— Переѣзжай ко мнѣ за десять рублей; я тебя кормить буду,—предложилъ пріятель Козлову.

— Да гдѣ жить-то?

— Съ нами въ одной комнатѣ.

— Идетъ.

И пріятель повелъ Козлова къ себѣ.

— Закатился опять, красное солнышко,—проговорила кухарка, запирая за ними дверь.

Съ двѣнадцати до четырехъ часовъ никого нѣтъ въ квартирѣ чиновниковъ, кромѣ кухарки и ея жениха, который, впрочемъ, приходитъ очень рѣдко, и поэтому кухарка, убирая комнаты и работая въ кухнѣ, поетъ пѣсни такъ, что ихъ слышно во всемъ дворѣ. Въ кухнѣ, около плиты она управляется скоро и, такъ какъ ей до четырехъ часовъ дѣлать нечего, то она на полчаса ложится отдохнуть или разговариваетъ съ кухарками на лѣстницѣ или, сидя на окнѣ, съ дочерьми курьеровъ, проходящими по двору и освѣдомляющимися со свой стороны о здоровьи котораго-нибудь изъ жильцовъ этой квартиры.

Но вотъ начинаютъ жильцы приходить изъ д-та. Первый приходитъ Иванъ Иванычъ и раздѣвается. Кухарка накрываетъ столъ, а Иванъ Иванычъ, облачившись въ халатъ, идетъ умываться. Передъ обѣдомъ онъ выпиваетъ двѣ рюмки водки, но за ширмами, чтобы никто не видѣлъ; однако жильцы этой квартиры знаютъ, что Иванъ Иванычъ выпиваетъ только передъ обѣдомъ и все-таки, несмотря на то, что онъ водку покупаетъ четвертями, никто не напрашивается на рюмку водки, да и онъ самъ не балуетъ никого. Послѣ обѣда, продолжавшагося полчаса, онъ прошелся четыре раза по комнатѣ и потомъ легъ спать. Точно такъ же обѣдали и ложились спать остальные товарищи, съ тою только разницею, что одни изъ нихъ ни капли не пили водки, а другіе выпивали по четыре рюмки.

Выспались квартиранты, полежали еще немного, потолковали о Семенѣ Иванычѣ и стали пить чай и, между чаемъ, четверо наигрывало на гитарахъ, то сидя на окнахъ, то стоя у оконъ и дѣлая глазки

дѣвицамъ, сидящимъ черезъ дворъ у противоположныхъ оконъ. Дѣвицы высовывали изъ оконъ головы.

— Здравствуйте, Аннушка!—кричитъ квартирантъ.

— Здравствуйте! что гулять пойдете?

— А вы?

— А вы?

— Пойдемте.

Дѣвица хохочетъ; за нею хохочутъ и другія.

Мало-по-малу квартиранты расходятся гулять. Въ комнатахъ остаются только тѣ, которыхъ заняла какая-нибудь книжка съ интереснымъ, по ихъ вкусу, романомъ или у которыхъ есть къ завтрему работа.

Въ девять часовъ воротилось пятеро, воротился и Степанъ Иванычъ. Съ полчаса товарищи смѣялись надъ нимъ, потомъ онъ началъ смѣшить ихъ разными разсказами о пріятелѣ, недавно женившемся, котораго теща надула и который уже начинаетъ поколачивать и жену, и тещу... И только въ это время квартиранты веселы, и оживляется квартира: четыре человѣка играютъ на гитарахъ, двое поютъ, и этотъ концертъ привлекаетъ взоры и вздохи всѣхъ курьерскихъ дочерей на эту квартиру, такъ какъ они уже прослушали концертъ другой квартиры, въ которой чиновники играютъ и поютъ за чаемъ, а потомъ гуляютъ до десяти и до двѣнадцати часовъ, да и тамъ играютъ поплоше. То-и-дѣло снизу изъ противоположныхъ оконъ слышится звонкій хохотъ, пѣніе подъ тактъ музыки, и слышатся разсужденія такого рода.

— Это Антонъ Иванычъ поетъ. Прелесть!

— А какъ этотъ черномазый играетъ! Восхищеніе!

Игроки это слышатъ и продолжаютъ играть еще усерднѣе; но дѣлается холодно; они запираютъ окна и обыкновенно собираются въ средней комнатѣ и, время отъ времени наигрывая и напѣвая начала ирмосовъ, дружески разговариваютъ.

— Не сыграемъ ли въ карты?—вдругъ сказалъ одинъ.

— Можно.

— Нѣтъ, я спать.

— Въ десять-то часовъ? Развѣ благородные люди ложатся такъ рано?

И четыре человѣка усаживаются за карты, остальные разбродятся по своимъ комнатамъ и, лежа на кроватяхъ, читаютъ повѣсти или романы, но чтеніе ихъ скоро усыпляетъ, и они пробуждаются только тогда, когда игроки начинаютъ кричать:—ты подлецъ! ты не только въ картахъ, даже въ другомъ мазурикъ. Во всемъ какъ есть, мерзкій и подлый человѣкъ.

— И это дѣло: пять рублей зажилилъ?

— У кого? Ну-ко? ну-ко? Господа, будьте свидѣтелями.

— Перестаньте! Играть такъ играть.

— Нѣтъ, онъ зачѣмъ мошенничаетъ: зачѣмъ съ пики ходилъ, когда ихъ у него не было?

— А ты зачѣмъ подъ столъ карты прячешь.

Однако жильцы только покричали и опять сѣли играть. Играли то молча, то напѣвали, то посвистывали, то вдругъ всѣ вразъ начинали говорить и вразъ затихали, то кто-нибудь тренькалъ на гитарѣ... Наконецъ, одинъ изъ нихъ сказалъ:

— Братцы! Не пора ли ужъ?

— Будетъ.

И всѣ разошлись по своимъ мѣстамъ, и черезъ полчаса въ комнатахъ водворилась мертвая тишина. только развѣ кто-нибудь всхрапываетъ или, отъ поворачиванія кого-нибудь на другой бокъ, скрипнетъ кровать.

Яшка.

Осень стоитъ грязная. Назадъ тому недѣля, какъ выпалъ снѣгъ, покрылъ всю Петербургскую сторону, гдѣ уже ѣздятъ на санкахъ, тогда какъ въ самомъ Петербургѣ ѣздятъ на колесахъ; мостовыя, особенно набережная Петербургской стороны, заледенѣли, отчего не одна женщина имѣла несчастіе шлепаться всѣмъ корпусомъ на ледъ и поэтому проклинать свою жизнь и проклятую осень; но сдѣлалась оттепель, какія въ невской столицѣ не рѣдкость и зимою, пошелъ дождь; снѣгъ размочило, и онъ уплылъ къ набережной Невы. Хороша бываетъ грязная осень и въ самомъ Петербургѣ; осень же въ патріархальной Петербургской сторонѣ еще лучше. Объ этомъ нечего говорить. Кто имѣлъ удовольствіе прожить хотя годъ въ этой сторонѣ, тотъ очень хорошо знаетъ, что нигдѣ такъ не замѣтны во всемъ Петербургѣ четыре времени года, какъ въ этомъ петербургскомъ предмѣстьѣ, обиталищѣ чиновниковъ, салопницъ, людей, любящихъ тишину и покой, любящихъ вспоминать о провинціи и жить по провинціальному, и небольшого количества бѣдняковъ, студентовъ университета и медицинской академіи.

Вечеръ. Тихо на Петербургской сторонѣ. Кое-гдѣ, и то по большимъ улицамъ, проѣдетъ извозчикъ съ сѣдокомъ, да кое-гдѣ черезъ дорогу пробѣжитъ кто-нибудь или пролаютъ въ разныхъ мѣстахъ нѣсколько собакъ. Темно,—такъ темно, что въ узкихъ улицахъ и переулкахъ около мытнинскаго перевоза нерѣдкость провалиться въ спускъ къ какой-нибудь лавкѣ въ подвалѣ, стукнуться лбомъ объ уголъ какого-нибудь дома или шлепнуться въ грязь, оступившись гдѣ-нибудь въ ямѣ. Ни одного фонарика тутъ нѣтъ. Такъ было назадъ тому шестнадцать лѣтъ, такъ почти и теперь есть, точно прогрессъ сюда не хочетъ переправляться черезъ Неву; впрочемъ, онъ уже полегонечку переправляется: фонари теперь есть, только въ маломъ количествѣ, горятъ часто не всѣ и тускло, потому-что газъ сюда еще не перебрался черезъ Неву. Восемь часовъ вечера; обитатели Бѣлостокскаго переулка еще не спятъ: тамъ и сямъ, по обѣимъ сторонамъ въ окнахъ, виденъ свѣтъ, кое-гдѣ мелькаютъ по стѣнамъ тѣни. Тихо въ Бѣлостокскомъ переулкѣ,—такъ тихо, что такъ и кажется, что всѣ люди здѣсь уже собираются спать

или, сидя на стульяхъ, зѣваютъ,—къ чему наводятъ громкіе зѣвки лавочниковъ въ подвалахъ, крестящихъ рты и приговаривающихъ: «о-о-хо-хо-о!.. А!! а!! согрѣшили попы за наши грѣхи»... Но чу! послышался откуда-то пискъ ребенка; кричитъ гдѣ-то какая-то женщина; изъ одного мезонина вдругъ послышался густой басъ: «отверзу уста моя и наполнятся духа и слово «отрыгну»... и замерло все.

Но вотъ кто-то шлепаетъ по грязи и натыкается то на заплоты, то на стѣны домовъ.

— А чтобъ тебѣ провалиться совсѣмъ... Ну, вотъ!!—говорилъ мужской охриплый голосъ. При восклицаніи мужчина, какъ видно, провалился къ лавкѣ по подвалу.

Изъ лавки вышелъ высокій, блѣдный мужчина въ полушубкѣ и грязномъ фартукѣ. Онъ несъ свѣчку.

— Эко тебя, любезный, сатануло!.. Ставай, ставай! О!! — и лавочникъ сталъ пихать мужчину ногой.

Мужчина приподнялся.

— Послушай... Ну, и темь,—проговорилъ онъ.

— А, Якову Савичу... Да; и темь же!

— Вотъ все хочу фонарь промыслить... У купца Егорова славный видѣлъ въ кладовой. Только знаешь ты, другъ, двухъ боковъ нѣту.

— Какой же это фонарь?

— Всеже лучше бутылки!

— Ха, ха! Твоя-то Матрена поди не забыла бутылки, какъ ты ее... ха-ха... О, Господи! ха-ха!

— То-то и есть: пошелъ со свѣчкой, и пришелъ съ подбитыми глазами... А вѣдь въ фонарь водки не нальешь, особливо ежели боковъ нѣту. Прощай, Василь Николаичъ. Ходилъ къ бабкѣ — ушедши. Чать, родила?..

— Счастливо... А ты ежели что—мою старуху — бабушку.

— О! А я ходилъ?..

Мужчина подошелъ къ калиткѣ и сталъ стучаться, а лавочникъ ушелъ въ лавку, зѣвая и приговаривая:

— О-охъ грѣхи, грѣхи... Тоже бабку!.. Столиція, столиція—чтобъ-те...—и онъ такъ стукнулъ половинкой двери, что чуть стекла не разбились въ ней.

Долго стучался мужчина у калитки; несмотря на то, что даже самыя ворота съ заплотомъ шатались, обитателямъ не хотѣлось какъ будто выйти на дворъ. Наконецъ, къ калиткѣ подошелъ дворникъ и окликнулъ мужчину:—кто?

— Чортъ!—сказалъ мужчина.

— Чортъ же и есть... Для васъ, чертей, только и живемъ... Пьяницы!—и дворникъ отворилъ калитку.

— Ты не ругайся, дядя Петро: слышь за бабкой ходилъ; жена родитъ.

— А, чтобъ васъ!.. Я вотъ возьму и запру. Отворяй самъ.

— Экъ, братъ, ты разлѣнился. Говорятъ, дома нѣту бабки-то. Вотъ что. А вотъ ты бы посвѣтилъ маненько, лучше бы было.

— О! ха-ха!! проваливай, братъ: у тебя и такъ въ глазахъ-то поди свѣтло.—И дворникъ заперъ калитку, а потомъ исчезъ въ темнотѣ.

Дворъ маленькій, покрытый лужами, точно наводненіемъ какимъ. Пахнетъ чѣмъ-то гнилымъ, прокислымъ, воняетъ кожей, саломъ. Мужчина то-и-дѣло натыкался на стѣны и углы дома, то шлепалъ въ небольшія ямы, въ которыхъ грязи и воды было ему на вершокъ выше колѣна. Откуда-то рвались привязанныя на толстыя бичевки собаки и съ остервенѣніемъ лаяли. Наконецъ, мужчина ощупалъ одно крыльцо и почти ползкомъ вошелъ на него по шаткимъ, слизкимъ ступенькамъ, на которыя ежеминутно скатывалась съ крышъ дождевая вода крупными каплями и барабанила до-нельзя по промоченной спинѣ мужчины. Однако, путешествіе этимъ не кончилось. Находясь въ совершенной темнотѣ и духотѣ, мужчина долженъ былъ подняться по лѣстницѣ съ пятнадцатью шаткими ступеньками на узенькій коридорчикъ, пройти его, подняться еще по лѣстницѣ съ двѣнадцатью ступеньками, завернуть влѣво и еще подняться. Вотъ дверь направо; онъ повернулъ налѣво, растопырилъ обѣ руки, ощупалъ дверь, наставилъ ухо къ двери и остановился.

Тихо. Кто-то чихнулъ. Запищалъ ребенокъ.

— Конецъ!—и мужчина перекрестился, но все еще держалъ ухо у двери.

Онъ услышалъ женскій голосъ.

— Жива!!—онъ опять перекрестился и отперъ дверь.

Было темно; его сразу обдало воздухомъ, пахнущимъ мыломъ, точно тутъ гдѣ-то стоитъ корыто съ намоченнымъ въ немъ мыльною водою бѣльемъ.

— Кто тутъ?—окликнулъ его женскій старушичій голосъ.

— Яковъ.

— Опоздалъ. Съ новорожденнымъ!

— А! Парнишка?

— Толстякъ какой—весь въ тебя.

— Славно!

И мужчина завернулъ направо.

Узенькій коридоръ былъ еще уже отъ кадокъ, сундучковъ и развѣшенныхъ по стѣнамъ юбокъ и разнаго ветхаго бѣлья. Было вездѣ темно, и мужчина ощупью дошелъ до двери, которая была не заперта.

— Вотъ кого надо за смертью посылать...— проговорила женщина въ темнотѣ.

— Дома нѣту акушерки-то.

— И не нужно. Опять напился.

— Ей-Богу...

— Полно, и такъ разитъ.

— Ну вотъ, провалиться!

Мужчина зажегъ сальный огарокъ, который былъ воткнутъ въ бутылку, и слабый свѣтъ отъ очень нагорѣвшей свѣтильни освѣтилъ комнату. Направо, у стѣны на кровати, лежала женщина лѣтъ подъ тридцать. Лицо ея было блѣдно, худо, точно она рожала каждый годъ, и всѣ ея дѣти были живы. Она была не очень красива, хотя у нея и было чистое лицо; у стѣны лежалъ ребенокъ и дышалъ тяжело. Возлѣ

кровати лежала какая-то старушка, скорчивъ ноги такъ, что ей было длины не больше аршина съ четвертью, и ее легко было бы взять въ охапку и нести, куда угодно. Комната маленькая—похожая на чердакъ, потому-что та сторона стѣны, къ которой были обращены ноги женщины и старушки, составляла крышу и шла наклонно отъ стѣны съ дверьми къ ногамъ лежащихъ. Окна въ ней не было. Вся мебель въ ней состояла изъ кровати, небольшого столика, табуретки и двуногаго стула. На стѣнѣ висѣли: сарафанъ, полушубокъ, черный мужской кафтанъ и мужской грязный передникъ. Около стѣны, противоположной кровати, съ крыши сочилась вода и падала на полъ, на которомъ была уже порядочная лужа.

Мужчина снялъ свой халатъ и сталъ выжимать изъ него воду въ лужу.

— Ты бы въ коридоръ вышелъ—и такъ, говорятъ, мы мочимъ,—сказала женщина.

— А насъ не мочитъ? Нѣтъ, шалишь!

Немного погодя онъ подошелъ къ женѣ.

— Ну, слава Богу,—сказалъ онъ, глядя то на жену, то на ребенка.

— Чего?

— Что родила; живой вѣдь.

— Лучше бы мертвый... Умретъ, я думаю.

— Нѣтъ, пусть живетъ.

— А кормить-то кто будетъ: ты что ли?

— А ты-то на что?

— Я-то... Охъ! ты много ли заробишь себѣ на хлѣбъ. Поди-ко, и мнѣ надо жрать, а онъ какъ? Дастъ, поди-ко, онъ мнѣ робить.

Мужчина замолчалъ. Запищалъ ребенокъ.

— Вотъ и молока нѣту! Согрѣй хоть, Христа ради, воды.

— А гдѣ бы я ее взялъ?

Теплой воды во всей квартирѣ не было. Запастись ею раньше никто не догадался.

Встала старушка, накинула на себя салопчикъ и побѣжала въ лавочку. Немного погодя она принесла молока, разведеннаго въ теплой водѣ и сахарѣ.

Мужчина долго не могъ заснуть; не спала и жена его; ребенокъ пищалъ.

— Хорошо бы, какъ бы онъ жилъ, только какъ устроить, Матрена?.. Вотъ и здѣсь течетъ.

— Помретъ.

— Что пользы—хорони, то, другое; а капиталы гдѣ?

— Ну, чухнамъ отдадимъ.

— Не надо. Лучше въ воспитательный.

— Я тоже думала. А звать какъ?

— Пусть Яшкой зовется.

Супруги замолчали.

Итакъ родился человѣкъ, названный Яшкой, съ которымъ родители не знали, что дѣлать съ перваго дня его рожденія.

Яковъ Савичъ Савельевъ и жена его, Матрена Ивановна—уроженцы деревенскіе, но жизнь обоихъ сложилась такъ, что первый еще мальчикомъ былъ взятъ въ городъ въ обученіе малярному ремеслу; какъ подросъ, вмѣстѣ съ артелью, въ которой онъ обучался работать, переѣхалъ въ Петербургъ; Матрена же Ивановна, тоже дѣвочкой, была отдана въ работы на кирпичномъ заводѣ, куда она ходила со своими подругами за пять верстъ отъ деревни и откуда получала денегъ по пяти копеекъ въ сутки Конечно, по мѣрѣ того, какъ она подростала, плата ей увеличивалась, но дошла только до двадцати копеекъ въ то время, какъ ей минулъ девятнадцатый годъ; больше же двадцати копеекъ платы женщинамъ на кирпичномъ заводѣ не полагалось. Хотя у родителей того и другой въ деревнѣ были свои дома, они имѣли землю, за которую платили большой оброкъ, но земля эта не приносила имъ никакой пользы, потому-что имъ приходилось больше тратить время на помѣщика, и поэтому почти все мужское населеніе деревни издавна ходило на заработки или въ города, или въ столицы: дома оставались жены, которыя управлялись съ хозяйствомъ, замѣняли собою помѣщику рабочія силы, а если у нихъ не хватало средствъ кормиться отъ остатковъ, которые были припасены раньше, то и онѣ шли тоже на работы въ ближайшіе фабрики и заводы. Поэтому и неудивительно, что и Яковъ Савичъ, и Матрена Ивановна съ дѣтства работали въ разныхъ мѣстахъ. Однако случилось такъ, что Яковъ Савичъ женился на Матренѣ Ивановнѣ. Какимъ образомъ случилось это — здѣсь распространяться я считаю лишнимъ. Женившись на Матренѣ Ивановнѣ, Яковъ Савичъ прожилъ въ деревнѣ только два мѣсяца и укатилъ въ Питеръ. Проживши дѣтство въ городѣ, въ артели, онъ еще тогда отвыкъ отъ деревни, ему еще тогда было скучно въ деревнѣ безъ дѣла, а деревенская работа не нравилась; проживши пять лѣтъ въ Питерѣ, онъ уже и на города сталъ смотрѣть, какъ на деревни, а объ деревнѣ и говорить нечего. Въ столицѣ онъ работалъ въ большихъ каменныхъ домахъ артелью, жилъ въ артели, много видѣлъ; ему нравилась столица, какъ молодому человѣку, хотя его и кормили скверно, и платили сравнительно съ другими мало, и недоплачивали. Матренѣ Ивановнѣ скучно было безъ мужа; къ тому же она жила въ домѣ, принадлежавшемъ роднымъ ея мужа, и поэтому, какъ самая младшая въ семьѣ и взятая изъ бѣднаго семейства, она должна была заправлять всѣмъ хозяйствомъ, или быть съ четырехъ часовъ утра до девяти вечера на ногахъ; но когда мужъ предлагалъ ей передъ отъѣздомъ итти въ Питеръ, она отмахивалась руками и говорила, что боится туда итти, да и примѣровъ не было, чтобы какая-нибудь женщина ихней деревни или сосѣдней уходила туда; кромѣ этого всѣ однодеревенцы разсуждали такъ, что мужъ долженъ ходить на заработки, а жена—жить дома. Впрочемъ, тутъ было еще большое препятствіе: нужно просить помѣщика; хорошо еще отпуститъ онъ. А если отпуститъ, то увеличитъ оброкъ и на жену. Такъ она и осталась въ деревнѣ, гдѣ и жила шесть лѣтъ. Мужъ ея пріѣзжалъ въ это время только два раза: одинъ разъ зимой, другой—лѣтомъ, и она отъ него имѣла уже двоихъ дѣтей—мальчика и дѣвочку.

Яковъ Савичъ не хвалился своимъ житьемъ въ Петербургѣ. Онъ работалъ попрежнему въ артели. потому-что не умѣлъ жить одинъ и не могъ сыскать для одного себя работы. Что дѣлала артель, то дѣлалъ и онъ; не было у артели работы, сидѣлъ и онъ безъ работы и проѣдалъ деньги, до этого заработанныя. Хотя у него на пищу и на квартиру выходило немного денегъ, однако, несмотря на то, что иногда ему приходилось получать въ мѣсяцъ рублей двадцать,—рѣдкій мѣсяцъ онъ могъ откладывать изъ этихъ денегъ пять руб. на оброкъ, потому-что, живя въ артели, ему трудно и неловко было отстать отъ товарищей: если артель дѣлала складчину или дозволяла себѣ какое-нибудь удовольстіе, и Яковъ Савичъ давалъ въ нее деньги; а такъ какъ артель состояла изъ двадцати четырехъ человѣкъ, изъ которыхъ многіе были хорошіе питухи, ѣли много, — къ тому же съ голодной пищи пилось и ѣлось много, то приходилось раскошеливаться снова, и это раскошеливанье доходило до того, что на утро у Якова Савича и его товарищей оказывалось въ карманѣ не болѣе пяти коп. мѣди. При такомъ положеніи Якову Савичу нечего было и думать о томъ, чтобы его жена жила вмѣстѣ съ нимъ въ Питерѣ. Впрочемъ, онъ, занятой съ утра до вечера работой, думалъ объ этомъ, можетъ-быть, только тогда, когда находился въ хорошемъ настроеніи,—что бывало очень рѣдко,—и гналъ мысль о совмѣстномъ сожительствѣ въ столицѣ съ женою тѣмъ: «а вотъ съѣзжу домой, побалуюсь и все тутъ».

Однако судьба устроила такъ, что и его жена попала въ Петербургъ—и это устроилось очень просто. Родная сестра Матрены Ивановны, Акулина, весной ушла съ мужемъ въ Петербургъ, бросивъ своимъ роднымъ ребенка. Это не только удивило, но даже разозлило всю родню, и всѣ приписали это обстоятельство не тому, что Акулина черезчуръ любила своего мужа, но говорили, что Акулина «паскуда». Но черезъ три мѣсяца Акулина шлетъ оброкъ отъ себя, и всѣ узнали, что Акулина живетъ гдѣ-то у господъ въ мамкахъ, получаетъ много и денегъ, и подарковъ. Это многихъ въ деревнѣ сбило съ толку; Матрена же Ивановна только и думала о томъ, какъ бы ей уѣхать въ Питеръ, тѣмъ болѣе, что жизнь ея въ мужниной семьѣ становилась все невыносимѣе и тяжелѣе, такъ что дошло до того, что ее стали попрекать уже Акулиной: «Вотъ Акулина, смотри, сама за себя и даже за мужа платитъ оброки, а ты что? только чужой хлѣбъ ѣшь». Лѣтомъ пришелъ къ Матренѣ Ивановнѣ мужъ: она стала ему говорить о томъ, какъ ей тяжело въ деревнѣ, какъ ей хочется въ Питеръ, и что она можетъ быть сама кормилицей, когда родитъ. Мужъ долго не соглашался съ женой, ругалъ ее, но замѣтивъ, что дѣйствительно женѣ скверно, рѣшилъ взять ее съ собой. Родился у Матрены ребенокъ, покормила она его съ мѣсяцъ, а потомъ отдала семьѣ Акулининой, которая была добрѣе семьи ея мужа и къ намѣренію Матрены относилась доброжелательно.

Въ Петербургѣ Матрена Ивановна проболталась съ полмѣсяца. Въ это время она не могла даже поступить въ кухарки. Насилу-насилу съ помощью подарковъ вахтерамъ и старухамъ она попала въ воспитательный домъ и побыла тамъ на законной половинѣ три мѣсяца. Тамъ она была, что называется, казеннымъ человѣкомъ: одѣвалась какъ и другія мамки, пріучилась пить кофей, ѣсть въ положенные часы то, что прочія ѣли, кормила въ сутки до десяти ребятъ, а съ порученнымъ ей дитей обращалась именно такъ, какъ обращается торгашъ съ вещью; впрочемъ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ у нея было на рукахъ пять ребятъ, которые скоро, по бѣдности родителей, были отвозимы въ деревни. Въ воспитательномъ домѣ она получала порядочное жалованье, которое выпрашивалъ у нея мужъ для того, чтобы отослать въ деревню, но больше для своихъ расходовъ. По выходѣ изъ воспитательнаго съ десятью рублями, Матрена скоро поступила въ кухарки и жила на разныхъ мѣстахъ годъ, но потомъ захворала, пролежала въ больницѣ четыре мѣсяца, а по выходѣ поселилась съ мужемъ на квартирѣ и занялась прачешнымъ ремесломъ по найму у одной прачки, жившей въ томъ же домѣ. Такъ она прожила два года. Въ это время у нея родился ребенокъ и умеръ. Черезъ полгода послѣ его смерти мужъ ея перешелъ къ одному подрядчику на Петербургскую сторону и поселился въ вышеописанной квартирѣ за рубль сер. въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы ему носить хозяйкѣ, вдовѣ-чиновницѣ, дрова и воду.

Прачечное ремесло у мытнинскаго перевоза было плохое дѣло для Матрены, и она нанялась въ кухарки, но какъ только барыня замѣтила, что ея кухарка брюхата и ходитъ тихо—пыхтитъ,—то и отказала ей. Поэтому до родовъ Матрена жила въ квартирѣ безъ дѣла двѣ недѣли, въ которыя была рѣдко сыта, часто бита мужемъ за то, что у него теперь расходовъ больше на ея кофеи, булки и вообще на ея утробу. Жена же утѣшала мужа тѣмъ, что она недолго будетъ жить на его шеѣ, и ребенокъ, вѣроятно, умретъ, тогда она опять наймется куда-нибудь въ прачки.

Ребенокъ не умиралъ. Его окрестили. Послѣ крестинъ прошла недѣля, а Яшка живетъ и, какъ на зло, не даетъ матери покоя. Пойдетъ ли куда мать, ребенокъ плачетъ, хозяйка и жильцы сердятся, говорятъ, что Яшка и имъ ничего не даетъ дѣлать. Стали Якову Савичу и его женѣ совѣтовать отдать ребенка куда-нибудь. Яковъ Савичъ злился.

— Я вотъ возьму да и уйду въ артель, а ты какъ хочешь съ нимъ,—говоритъ онъ женѣ.

— А чей ребенокъ-то?

— Зачѣмъ шла сюда? Ты думала вѣкъ въ мамкахъ-то будешь? Пошла съ нимъ, съ дьяволомъ, въ деревню!

Но Матренѣ Ивановнѣ не хотѣлось итти въ деревню. И на это она имѣла много основаній. Однако какъ быть? Мужъ ежедневно попрекаетъ ее; поступить на мѣсто—ребенокъ мѣшаетъ. Отдать его въ деревню на вскормленіе—платить надо; отдать въ воспитательный не хочется, потому-что она знаетъ, каковъ тамъ обиходъ и каковы послѣдствія. Нако-

нецъ, мужъ сталъ постоянно приходить пьяный; узнала Матрена, что онъ безъ мѣста, и товарищи его удивляются тому, что онъ пьянствуетъ и никому не платитъ долговъ. Говорили человѣка два, что его надулъ подрядчикъ на десять рублей вскорѣ послѣ рожденія Яшки, еще до крестинъ, — и вотъ онъ сталъ пьянствовать и буянить. Чѣмъ бы окончилось дѣло—неизвѣстно, но скоро Матрена Ивановна нашла на Офицерской улицѣ мѣсто кухарки за три рубля, и въ тотъ же день отдала ребенка чухонкѣ на воспитаніе за три рубля въ мѣсяцъ. Отъ мужа она ушла тайкомъ, когда онъ былъ въ кабакѣ, и съ этихъ поръ уже видѣла его только два раза: разъ черезъ три недѣли послѣ поступленія на мѣсто—въ больницѣ, гдѣ онъ лежалъ въ бѣлой горячкѣ, а во второй — мертваго черезъ недѣлю послѣ этого.

Деревня Тудари, въ которой жила чухонка Катерина, взявшая на воспитаніе Матренинаго сына, находится въ Петергофскомъ уѣздѣ, расположена на небольшомъ пригоркѣ и окружена съ трехъ сторонъ болотомъ, а съ четвертой—небольшими пашнями, съ которыхъ хозяева ихъ получаютъ очень немного. У этихъ чухонъ нѣтъ ни яблокъ, ни малины, ни другихъ ягодъ—и все ихъ богатство въ отношеніи растительнаго царства, за исключеніемъ ржи, составляетъ картофель, который урождается не всегда хорошо, и сѣно, котораго, при небольшомъ количествѣ коровъ, хватаетъ на зиму едва-едва. Поэтому мужское населеніе деревни большею частью работаетъ или около Царскаго Села на подрядчиковъ, или занимается извозомъ, тоже по подрядамъ, въ Петергофскомъ уѣздѣ и въ самомъ Петербургѣ; женщины же носятъ въ Петергофъ молоко, сливки, масло и яйца. Но главный предметъ ихъ промышленности состоитъ въ томъ, что онѣ воспитываютъ дѣтей. Почти каждая хозяйка дома знакома очень хорошо съ воспитательнымъ домомъ, и поэтому ей небольшого стоитъ труда получить оттуда дѣтей, имѣя дѣло, конечно, съ конторой, въ которой (не знаю какъ теперь) прежде приходилось ей оставлять половину платы за каждое дитя. Случалось такъ, что уже старая женщина получала ребенка, обязываясь кормить его грудью. Женщинѣ нужно было только взять на свое имя дитя, а потомъ она могла его перепродать другой чухонкѣ за молоко или за что-нибудь, уступить для того, чтобы самой получать плату и не возиться съ нимъ. А такъ какъ въ каждомъ домѣ была не одна женщина, то всѣ эти женщины тоже получали съ законной половины, потому съ законной, что деревня Тудари находилась недалеко отъ воспитательнаго дома. Поэтому въ деревнѣ Тудари дѣтей разныхъ возрастовъ было больше взрослыхъ, но изъ нихъ родныя дѣти холились, какъ слѣдуетъ, были сыты и здоровы и съ ними обращались, какъ съ родными, конечно, на счетъ постороннихъ. И только какая-нибудь болѣзнь, въ родѣ коклюша, при тамошнемъ сыромъ климатѣ, грязной обстановкѣ въ избахъ, иногда неблагопріятно дѣйствовала и на родныхъ дѣтей, которыя умирали такъ же легко, какъ и постороннія.

Домъ Катерины ничѣмъ не отличался отъ другихъ домовъ. Такая же большая, грязная изба, холодная зимою и сырая, душная лѣтомъ, и такая же маленькая комната—жилье самихъ хозяевъ. У Катерины было двое дѣтей, взятыхъ изъ воспитательнаго дома — мальчикъ и дѣвочка; своихъ дѣтей у нея было трое—два мальчика—дному четыре года, другому шесть лѣтъ—и дѣвочка двухъ лѣтъ. Но Катерина была женщина добрая: какъ тѣхъ, такъ и другихъ дѣтей кормила ладно, потому-что у нея было двѣ коровы и десять козъ; молока она не жалѣла для дѣтей и дѣти были здоровы,—что давало ей поводъ упрекать другихъ женщинъ въ даровомъ полученіи денегъ отъ казны и ссылаться на священное писаніе, которое она любила читать въ первый годъ замужества, и какъ женщина набожная и теперь безъ книжки никогда не молилась Богу. Однако она слово «воспитаніе» понимала буквально; она только думала, что ребятъ надо кормить, и она кормила чужихъ—молокомъ и хлѣбомъ; своихъ—молокомъ, булкой съ масломъ, картофелью; все, что ѣли сами родители, ѣли и ихъ дѣти; если же дѣти Катерины были сыты доотвалу, то остатки давались чужимъ; что же касается до ухода за чужими дѣтьми, то это не входило въ программу воспитанія: чужія дѣти были едва прикрыты, ихъ одеженки изнашивались родными дѣтьми; они валялись по полу, какъ попало, кашляли, хворали, спали въ корытахъ почти у самыхъ дверей избы, не смотря на то, что зимой холодъ первыхъ ихъ охватывалъ, и только тогда совѣтовались съ докторомъ, когда дѣло было уже плохо. А совѣтовалась Катерина съ докторомъ потому, что, если умретъ ребенокъ, она лишится платы, и ей уже не такъ легко потомъ достать ребенка.

Дѣти Катерины хотя и были малы, но понимали изъ обращенія родителей, что половина изъ нихъ чужая, и старались съ своей стороны какъ-нибудь обидѣть ихъ, отнимая отъ нихъ то, что̀ занимаетъ ихъ, колотя и т. п., на что родителями не обращалось большого вниманія.

Яшка, или по-чухонски Яска, былъ больной мальчикъ. Поэтому Катерина, получавшая отъ его матери больше, чѣмъ она получала изъ воспитательнаго дома, ухаживала за нимъ больше, чѣмъ за другими чужими дѣтьми потому, вѣроятно, что за этого ребенка нужно платить доктору, а за казенныхъ нѣтъ. Но Яшка не поправлялся — и однажды заболѣлъ серьезно. Катерина повезла его въ воспитательный, подъ видомъ Васьки, мальчика, находящагося у нея изъ воспитательнаго дома.

И Яско-Васька, пролежавъ въ воспитательномъ мѣсяцъ, сталъ выздоравливать.

Поѣхалъ въ Тудари докторъ воспитательнаго дома. Пришелъ къ Катеринѣ; ея не было дома; дома была только старуха, и то больная. Докторъ былъ молодой.

— У, старая, сколько у тебя ребятъ-то, какъ

свиней!—проговорилъ докторъ старухѣ, входя въ избу.

— Слава Богу.

— Ну, которая у тебя дѣвченка изъ воспитательнаго?

— А вотъ, что ползетъ.

— И этотъ тоже спитальной,—сказалъ мальчикъ Петръ, указывая на мальчика изъ воспитательнаго дома.

— И этотъ?—Докторъ сталъ смотрѣть табличку.—Какъ же у васъ одна дѣвочка значится?

— Нѣтъ, у насъ мальчикъ и дѣвочка,—сказала старуха.

Васька сказалъ, что онъ и Машка воспитательные.

Докторъ записалъ мальчика и уѣхалъ.

Въ воспитательномъ справились: отъ Катерины взятъ мальчикъ Василій въ больницу. Рѣшили, что или докторъ ошибся, или Катерина смошенничала.

Катерина струсила. Явилась въ контору. На нее начали сыпаться угрозы.

— Моя старуха больная; она плохо видитъ и плохо слышитъ,—говорила Катерина, и стала просить ребенка домой.

Ей было совсѣмъ хотѣли отдать ребенка, да ординаторъ повѣрилъ ея билетъ съ документами: госпитальный ребенокъ Василій значился трехъ съ половиною лѣтъ, а находящемуся въ больничной палатѣ было два года.

Нарядили слѣдствіе и разузнали, что Катерина проѣхалась на счетъ казны. Яшку отдали ей, а казенныхъ дѣтей отъ нея отобрали.

Теперь у Катерины стало меньше дѣтей, и стало меньше доходу, но она была рада, что отдѣлалась такъ легко, хотя съ этимъ Яшкой она израсходовала цѣлыхъ пятнадцать рублей. Вотъ она эти деньги и хотѣла наверстать какимъ-нибудь образомъ. Несмотря на ея набожность, она подумывала, что если бы Яшка былъ дѣвочка, то ей и думать бы нечего: она бы стала дѣвочку лелѣять, а потомъ продала бы ее въ Питеръ, а мальчика кто у нея купитъ, да и за мальчика мать скорѣе ухватится. Мысль эта, впрочемъ, пришла ей въ голову еще и вслѣдствіе того, что Матрена еще передъ болѣзнью была у нея, а съ тѣхъ поръ она даже въ воспитательномъ домѣ не навѣщала своего сына, хотя Катерина ее и предупреждала объ этомъ. Стала Катерина разыскивать Матрену—не нашла. Въ адресномъ столѣ она не могла тоже ничего узнать.

Стала Катерина совѣтоваться съ мужемъ.

— Не купитъ ли его какой подрядчикъ? Рублей десять далъ бы,—говорила.

— Подожди, можетъ-быть, еще мать его явится.

Подождали недѣлю. Умеръ у Катерины старшій сынъ.

— Это отъ Яшки. Надо продать Яшку,—настаивала Катерина.

— Теперь онъ пусть будетъ работникомъ нашимъ,—рѣшилъ мужъ Катерины.

Такъ Яковъ и остался у Катерины.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого мужъ, пріѣхавши изъ Краснаго Села, говоритъ Катеринѣ:

— Надо Яску хорошенько ростить, потому мнѣ подрядчикъ говорилъ, что онъ его возьметъ, какъ ему будетъ шесть лѣтъ. Я ему было говорилъ, что тогда мнѣ Яковъ будетъ нуженъ самому, только онъ мнѣ обѣщаетъ дать двадцать рублей. Какъ по-твоему?

— Это хорошо. Лишь бы теперь жилъ, а послѣ какъ деньги получимъ,—пусть околѣваетъ.

— А теперь вотъ онъ далъ задатку два рубля.

И мужъ отдалъ женѣ деньги.

Вслѣдствіе этого Яшкѣ сшили ситцевую рубашку, въ которой онъ и ползалъ весело по полу, вызывая со стороны родныхъ дѣтей Катерины зависть, и лепеча по чухонски: кулла! майтъ!

Послѣ смерти мужа Матрена Ивановна усердно работала. Она была сперва кухаркой; но такъ какъ ей, при ея строптивомъ характерѣ, при ея неуступчивости и неумѣніи кланяться, унижаться и выжидать, трудно было гдѣ-нибудь ужиться на одномъ мѣстѣ болѣе мѣсяца, она поступала преимущественно или къ бѣднымъ людямъ, чиновницамъ, едва сводящимъ приходъ съ расходомъ и даже запутавшимся до того, что ихъ постоянно осаждали кредиторы и, наконецъ, выгоняли вонъ съ квартиръ, или къ аферистамъ, разсчитывающимъ платить за квартиру пятнадцать рублей, а съ квартирантовъ получать сорокъ пять рублей, и живущихъ скупо; ее постоянно передъ выходомъ отъ какой-нибудь квартирной хозяйки обвиняли въ кражѣ бѣлья или ложки, или какой-нибудь вещи, такъ что въ въ послѣдній разъ разъ ей пришлось просидѣть понапрасну въ полиціи недѣлю, и за это ей ничего не заплатили, потому что настоящій воръ нашелся,—то Матрена Ивановна опять поступила въ услуженіе къ прачкѣ, въ Фонарный переулокъ, за пять рублей. Работа была каторжная, хозяйка развратная, не умѣющая приберечь деньги. Матрена Ивановна постоянно слушала брань; хозяйка недосчитывалась изъ ея стирки какой-нибудь вещи, вычитала деньги, такъ что къ концу мѣсяца ей пришлось получить всего только два рубля. Матрена Ивановна перешла къ другой прачкѣ, но у той дѣла было много, и къ ней постоянно ходили какіе-то евреи за долгами. Тутъ Матрена Ивановна прожила всего только недѣлю, и потомъ поступила на бумажную фабрику.

Я не буду описывать того, какъ работала Матрена Ивановна. Но не мѣшаетъ сказать, что жизнь на мануфактурѣ сперва ей нравилась: ей казалось хорошо работать съ женщинами, преимущественно молодыми; тамъ было весело; можно было острить не только другъ надъ дружкой, но и надъ мужчинами, можно было и покуражиться, такъ какъ мужчины оказывали особенное предпочтеніе молодымъ женщинамъ. Хотя Матрена Ивановна и была не молода, но лицо ея еще многихъ мануфактурныхъ франтовъ привлекало, и она по истеченіи мѣсяца уже имѣла кавалера, который и сталъ жить съ ней въ отдѣльной квартирѣ, за

которую оба они платили рубль серебромъ, получая—онъ 50 к., а она 30 к. поденщины. Въ это хорошее для нея время она часто ѣздила въ деревню Тудари, возила подарки Катеринѣ, которая отдавала ихъ своимъ дѣтямъ. Хотя ей и хотѣлось взять ребенка къ себѣ, но Иванъ Прохорычъ и думать ей объ этомъ не велѣлъ и даже высказалъ свое сомнѣніе насчетъ ея нравственности. Маленькій Яковъ ничего ей не могъ сказать о своихъ воспитателяхъ, тѣмъ болѣе, что онъ по-русски не умѣлъ сказать ни слова и даже какъ будто боялся своей родной матери; воспитатели же при посѣщеніи Матрены Ивановны дѣлали видъ, что они очень любятъ Яшу и ухаживаютъ за нимъ даже лучше, чѣмъ за своими дѣтьми, такъ что Матрена Ивановна, не подозрѣвая ничего, была ими вполнѣ довольна. Но любовь Ивана Прохорыча продолжалась недолго; онъ скоро сталъ ухаживать за другою женщиною, даже при Матренѣ Ивановнѣ; дома говорилъ Матренѣ Ивановнѣ дерзости и разъ, когда Матрена стала упрекать его Пашкой, онъ побилъ ее такъ, что она пролежала два дня. И хотя потомъ Иванъ Прохорычъ старался быть съ нею ласковъ, но она уже не любила его такъ, какъ прежде. Мануфактура ей опротивѣла, потому-что надъ нею стали смѣяться, стали давать ей работу не по силамъ. Не вынесла Матрена Ивановна всѣхъ непріятностей—и опять нанялась въ прачки, и на этомъ мѣстѣ съ нею случилась бѣда. Разъ она утюжила бѣлье съ хозяйкой. На доскѣ была разложена юбка. Хозяйка только что поставила на плитку, находящуюся на концѣ доски, большой утюгъ, а Матрена Ивановна стала подбирать съ полу края юбки. Вдругъ хозяйка какъ-то задѣла за стулъ: доска свалилась, свалился и утюгъ и попалъ прямо на обѣ руки Матрены Ивановны. А утюгъ былъ почти каленый, такъ что въ моментъ паденія онъ не годился для глаженья, потому что прожигалъ. Матрена Ивановна стала лѣчиться домашними средствами, какъ-то: намазывая руки медомъ, мочила въ чернилахъ и т. п., и все-таки должна была поступить въ больницу. Оттого ли, что она поступила въ больницу поздно съ больными руками, или ужъ лѣченіе было такое, только ей отрѣзали кисть правой руки, а на лѣвой два пальца.

Такъ она и вышла изъ больницы калѣкой.

Еще въ больницѣ одинъ докторъ въ шутку назвалъ Матрену Ивановну трехпалой, и Матрену Ивановну до самаго ея выхода изъ больницы всѣ называли не иначе, какъ трехпалою. Хотя въ той палатѣ, въ которой она находилась, было много женщинъ, испытавшихъ ампутацію и подвергавшихся различнымъ операціямъ, только почему-то многимъ изъ нихъ казалось смѣшнымъ безобразіе Матрены Ивановны. Добро бы глазъ, нога или что другое, а то на вотъ тѣ правая рука безъ кисти, а на лѣвой только три пальца!.. И выдумаютъ же вѣдь лѣкаря такую штуку!—и потомъ обращались къ Матренѣ Ивановнѣ:

— А что, трехпалая, какъ ты теперь будешь бѣлье стирать?

— И откуда, и за что Богъ такое названье мнѣ послалъ? Кажись, отъ роду чужого ничего не крала. Вотъ только дѣвчонкой когда была, правда, морковь тоже воровала. Ну, и зато, ахти, какъ драли!

— Ну, значитъ, кладено загрѣхи родителевъ. А все-таки ежели бы ты не крестьянскаго роду была, пальцы бы, пожалуй, цѣлы были.

На эти утѣшенія Матрена Ивановна ничего кромѣ слезъ не могла отвѣчать.

Въ самомъ дѣлѣ, что она будетъ дѣлать съ единственными тремя пальцами?

И проклинала же Матрена Ивановна свою жизнь. Много она въ ней видѣла причинъ, которыя довели ее до этого несчастія; но больше она проклинала себя за то, что, оставивъ въ деревнѣ ребенка и позарившись на большія деньги, пошла въ Петербургъ. Теперь всѣ ея дѣти въ деревнѣ померли, домъ перешелъ къ мужниной роднѣ и ея пожалуй, теперь не пустятъ въ домъ, а если и пустятъ съ Яшкой, то будутъ попрекать, и какова тамъ будетъ жизнь Якову?

«Нѣтъ, Богъ съ ней, съ деревней, промаюсь какъ-нибудь въ Питерѣ; Яшку какъ-нибудь на ноги поставлю; хоть онъ будетъ моимъ кормильцемъ», думала она, но до самаго выхода не придумала рода занятія.

— Ты въ богадѣльню иди, — совѣтовали ей больныя женщины.

— Околѣю — не пойду. Не хочу, чтобы мой сынъ со мной дарма жилъ.

— Ну, сына-то и въ военную возьмутъ.

— Не смѣютъ.

По выходѣ изъ больницы Питеръ показался ей совсѣмъ другимъ городомъ. Строенія, каналы и воздухъ были прежніе, только ей казалось страннымъ то, что теперь всѣ люди глядятъ на ея руки, всѣ какъ будто удивляются и смѣются надъ ней, даже извозчики издѣваются, говоря: «ой, тетка, отморозила руки-то пьяная». Нигдѣ она не можетъ найти себѣ работы со своими тремя пальцами, нѣтъ у нея денегъ для того, чтобы нанять уголъ. Хочется ѣсть, пить... Дѣлать нечего, хоть и не старая она женщина, а пришлось просить Христа ради.

И стала она просить милостыню въ церквахъ; стала петербургскою нищею.

Но и это ремесло шло не совсѣмъ выгодно. Она была трезвая, не якшалась съ прочею нищею братіею. И ея не любили нигдѣ. Поэтому она рѣшилась выбрать себѣ одинъ приходъ и постоянно ходить туда, и для этого поселилась на Петербургской сторонѣ, въ самомъ глухомъ переулкѣ, обитатели котораго состояли изъ самыхъ бѣдныхъ людей, не нуждающихся ни въ фонаряхъ ни въ тротуарахъ, боящихся петербургскаго треску и движенія, разъ въ годъ бывающихъ въ Петербургѣ и живущихъ со своими сосѣдями, какъ близкіе родные или какъ самые хорошіе знакомые.

Хозяйка этого дома вдова, нѣмка, Каролина Павловна, бывшая замужемъ за чиновникомъ, который и построилъ этотъ домъ, была сѣдовласая

и хромая старуха. Она жила съ дочерью маленькимъ пенсіономъ. Дочь ея, тоже вдова, съ тремя маленькими дѣтьми, изъ коихъ самой старшей дѣвочкѣ было пять лѣтъ, только и умѣла дѣлать, что узоры, которые она поставляла нѣмцу магазинщику на Васильевскомъ островѣ. Кухарки у нихъ не было, и такъ какъ обѣ онѣ, мать и дочь, были нѣмки набожныя, то и взяли къ себѣ трехпалую Матрену даромъ жить въ кухнѣ и служить за это Терезѣ въ родѣ вьючнаго животнаго, т. е. таскать съ рынка провизію, такъ какъ руки у Матрены могли же что-нибудь подцѣпить и нести. Кромѣ хозяйки и дочери въ домѣ жилъ хромой сапожникъ, поставлявшій сапоги на двѣ-три улицы и слывшій подъ именемъ Рѣдьки, вѣроятно, потому, что его лицо, вслѣдствіе безжалостной оспы, было похоже на губку. Рѣдька, или Осипъ Харитонычъ, работалъ самъ, единственной своей персоной, самъ готовилъ себѣ кушанья, самъ за всѣмъ ходилъ и жилъ, говорятъ, очень скупо въ будни, и мертвецки напивался по вескресеньямъ.

Кромѣ воскресеній онъ зналъ только большіе, главные церковные праздники. Этотъ сапожникъ велъ ежедневно войну съ мѣщаниномъ Романомъ Саватѣевымъ и его любовницей Татьяной Павловной изъ-за того, что они все затемняли ему дневной свѣтъ, проходившій со двора въ единственное его окно тѣмъ, что или вѣшали бѣлье и ставили станокъ для тканья нитокъ въ бичевки какъ разъ противъ его окна, а дѣти ихъ приводили со стороны другихъ дѣтей, и если не было развѣшено бѣлье или не было станка, ставили тоже противъ его окна коны бабокъ, попадали въ стекла, около его стѣны начинали играть въ мячикъ и на его ругань огрызались, какъ маленькія собаченки.

Всѣ эти люди понравились Матренѣ Ивановнѣ. Всѣ они жалѣли ее и ничего не видѣли худого въ томъ, что она ходитъ собирать въ церковь гроши. Особенно ей полюбился сапожникъ, который часто спрашивалъ у нея:

— А что, Матрена, нѣтъ ли у те хлѣба?

— Нѣту, Осипъ Харитонычъ; не подаютъ.

— Плохо. А я бы взялъ. Мнѣ бы на сухари. Я сухари очень люблю, особливо во щахъ, да и зубовъ коренныхъ у меня нѣтъ. А что грошей много? Я бы у те размѣнялъ гривну. Они, лавочники проклятые, не всегда отдаютъ гроши. Имъ-то каждая денежка барышъ, а намъ бѣднымъ, калѣкамъ, прости Господи, убытокъ.

И если у Матрены бывали гроши лишніе, она мѣняла. Скоро они такъ подружились, что Матрена грошъ или два и въ долгъ давала Осипу Харитонычу.

Нѣмка и ея дочь Матренѣ скоро опротивѣли; говорятъ по-нѣмецки, ея не поятъ, не кормятъ и заставляютъ работать.

— Матрена, держи корзину!—говоритъ Тереза, позабывши, что у Матрены только три пальца.

— Какъ же я, барыня, буду держать тремя пальцами?—скажетъ Матрена обидчиво.

— А я и позабыла... Ну, можетъ помои вылешь?

Попробуетъ Матрена ведро—три пальца не могутъ долго сдержать.

Да и самой ей скучно было безъ дѣла, а дѣлать она не умѣла тремя пальцами. Стала было учиться чулки вязать, терпѣнья не хватило. Начала она дѣтямъ сказки разсказывать, а тѣ видя, что она нищая и ничего дѣлать не можетъ, стали издѣваться надъ ней, лазить на нее и, наконецъ, дошли до того, что обращались съ нею, какъ съ куклой, а матери потакали имъ.

И хорошо ей было только у Осипа Харитоныча. Хоть два часа сиди у него и смотри на него, онъ, углубившись въ свои думы, упорно молчитъ, передергивая дратву въ калошахъ, сапогахъ и т. п. Случалось и засыпала у него Матрена; а у нѣмки нужно было все ходить да ходить.

Вотъ и задумала Матрена Ивановна обучить своего Яшку сапожному ремеслу. Высказала она свое намѣреніе Осипу Харитонычу. Онъ одобрилъ.

— Только онъ еще малъ. Пусть тамъ ростетъ у чухонъ. Они терпѣнью его обучатъ; ну, и опять, на двухъ языкахъ будетъ говорить,—говорилъ сапожникъ.

— Нѣтъ, ужъ я лучше при себѣ.

Попросила она барыню-нѣмку дозволить жить ея Якову съ нею въ кухнѣ; нѣмка обидѣлась.

— Наши дѣти неровня твоему. Ишь, что выдумала. Я такъ и знала, что ты своего ребенка намѣрена взять. Иди къ своему Рѣдькѣ.

— Богъ съ вами, барыня.

— Я очень хорошо понимаю, зачѣмъ ты ходишь къ сапожнику. Хороша оба: онъ — какъ терка, ты—съ тремя пальцами.

Горько сдѣлалось Матренѣ; сказала она объ этомъ Осипу Харитонычу, тотъ пошелъ къ нѣмкѣ съ протестомъ. Нѣмка косилась или просто сдѣлала видъ, что ей до калѣкъ нѣтъ дѣла; пусть они дѣлаютъ, что хотятъ. Слѣдствіемъ этого посѣщенія было то, что Осипъ Харитонычъ пустилъ къ себѣ Матрену на квартиру, и разрѣшилъ ей привести ея сына.

Яшка былъ боленъ, когда къ Катеринѣ пріѣхала Матрена Ивановна. Но ей его не отдали.

— Мы его уже законтрактовали, и поэтому тебѣ не отдадимъ,—говорилъ мужъ Катерины.

— Да я бы вамъ заплатила—денегъ нѣтъ. Ну, посмотрите на мои руки.

— Раньше бы взяла — такъ. Вотъ черезъ два года мы его подрядчику отдадимъ.

Такъ ни съ чѣмъ и воротилась домой Матрена.

За нее взялся хлопотать Осипъ Харитонычъ. Онъ былъ отставной солдатъ и поэтому поступилъ посолдатски.

— Какое имѣете вы право держать чужое дитя? Гдѣ вы такой законъ нашли? Вы его продать хотите? Развѣ онъ котенокъ или собака? да и тутъ настоящій хозяинъ не позволитъ? Да я васъ?! Я васъ упеку?! Я самъ царю служилъ; Георгія имѣю; я самъ къ царю пойду!! да знаете ли вы, чухны поганые, что я разъ въ годъ у самого царя обѣдаю?

Чухны струсили, но стали просить денегъ за цѣлый годъ.

— Сколько?—спросилъ Осипъ Харитонычъ.

— Тридцать шесть рублей.

— Тридцать шесть палокъ вамъ всѣмъ надо, а не рублей.

Однако онъ отдалъ Катеринѣ тридцать шесть копеекъ.

Катерина и ея мужъ обѣщались жаловаться, но Яшку отдали.

Яшкѣ было уже четыре съ половиною года, когда Матрена взяла его къ себѣ; онъ бѣгалъ, но по-русски не зналъ ни слова, а лепеталъ по-чухонски. Поэтому Яшку никто не понималъ; Яшка кричалъ, плакалъ, бралъ что-нибудь самовольно, билъ послѣднюю посуду Осипа Харитоныча и былъ мученіемъ для него, любящаго спокойную жизнь. Ни Яшка, ни Осипъ Харитонычъ другъ друга не понимали, и поэтому почтенный сапожникъ сталъ учить ребенка по-русски колотушками; а такъ какъ эти колотушки, чѣмъ попало, Яшкѣ приходилось получать часто, то Яшка становился все хуже и хуже: сталъ забрасывать шило, таскалъ сапоги, мазалъ сальною свѣчкой стѣны, что̀ сапожника приводило въ ярость, и онъ сперва было привязывалъ мальчишку къ стѣнѣ, какъ это дѣлаютъ съ собаками, а потомъ, когда ему надоѣлъ крикъ мальчишки, сталъ выгонять его во дворъ. Но и тамъ плохо было Яшкѣ. Мальчишки видѣли въ немъ какого-то урода и называли его нѣмымъ, и если Яшка, не понимая ихъ разговора и насмѣшекъ, вламывался въ ихъ компанію и тащилъ что-нибудь, его били; хотя и онъ барахтался, только это барахтанье ему приносило одни синяки и царапины. Осипъ Харитонычъ каялся, что взялъ къ себѣ такого чертенка, которому никакъ въ голову не вколотишь того, чтобы онъ слушался хозяина, не лепеталъ по-чухонски, сидѣлъ смирно и т. п. Осипа Харитоныча злило то, что если Яшка доберется до хлѣба, то жретъ какъ собака и, какъ только сожретъ, опять плачетъ и мяучитъ что-то по-кошачьи, такъ-что его приходится усмирять плеткой. Осипъ Харитонычъ, правда, любилъ только самъ хорошо поѣсть; онъ и Матренѣ Ивановнѣ рѣдко давалъ похлебать щей изъ своего горшка, а Яшкѣ удѣлялъ ужъ такъ, ради Христа, малую толику. Сама же Матрена Ивановна рѣдко что-нибудь варила у себя, потому что ее кое-гдѣ кормили за ея услуги. У ней на***-й улицѣ было уже нѣсколько благодѣтелей, которымъ она носила съ рынка провизію и сообщала какія-нибудь новости, выслушанныя ею или на паперти отъ нищихъ, или на рынкѣ.

Яшка чуждался какъ матери, такъ и сапожника. Когда его станутъ ласкать, онъ плачетъ; хотятъ взять его на руки—тоже плачетъ, и это бѣсило сапожника; а сама мать сознавала, что у нея какъ-то сердце не лежитъ къ ребенку, онъ какъ будто чужой ей. Если удастся ей приласкать его и посадить на колѣни да онъ перестанетъ плакать, она и говоритъ ему:

— Горемычные мы съ тобой, Яшенька; нѣту у насъ кормильца.

Яковъ только и лепечетъ: лейбъ! майтъ!.. *).

*) Хлѣба, молока.

И чѣмъ больше мать станетъ ласкать его, онъ тѣмъ сильнѣе разревется и растягиваетъ до изнеможенія: ма-айтъ! ма-айтъ!!

— А, чтобъ тѣ пострѣленку... Какая тутъ матъ? — и начинаетъ шлепать ребенка трехпалой рукой.

И самой ей жалко ребенка, да сдѣлать она ничего не можетъ, а сапожникъ сердится:

— Вотъ выгоню я васъ, будете шататься.

Стала Матрена брать Яшку съ собой въ церковь, что ей съ тремя пальцами стоило большого труда, но Яшка былъ маленькій, ничего не понималъ, бѣгалъ куда не слѣдуетъ, плакалъ, кричалъ; Матренѣ выговаривали, гнали прочь...

— Господи! что я стану дѣлать съ нимъ? Хоть поколѣлъ бы,—говорила она съ отчаяніемъ, когда ей было невтерпежъ.

— Иди съ нимъ въ богадѣльню,—совѣтовали ей.

— Нѣтъ, въ богадѣльню я не пойду: тамъ я въ четырехъ стѣнахъ должна жить, пить, ѣсть казенное, по мѣрочкѣ, казенную одежу носить. А теперь я всеже вольная пташка.

— Ну, отдай куда-нибудь мальчишку.

Но куда его отдать? Кто его возьметъ, такого маленькаго? Матрена хорошо понимала, что когда въ церкви Яшка былъ при ней, она больше получала денегъ.

Такъ и билась Матрена съ сыномъ два года, въ теченіе которыхъ Яковъ уже научился говорить по-русски. Но такимъ, какимъ хотѣлъ его видѣть сапожникъ, онъ не сдѣлался. Хотѣлъ Осипъ Харитонычъ сдѣлать его ручнымъ и для этого употреблялъ всякія средства — ничего не помогло; вышло только то, что Яшка очень боялся Осипа Харитоныча, когда тотъ былъ на лицо, а какъ не было сапожника, Яковъ дѣлалъ, что̀ хотѣлъ, и даже надъ своею матерью выдѣлывалъ разныя штуки.

Осипъ Харитонычъ сперва началъ заставлять Яшку что-нибудь подавать ему. Сидитъ Яшка въ углу и скоблитъ щепкой полъ.

— Яшка!—крикнетъ онъ.

Яшка вздрогнетъ и попятится еще назадъ, хотя уже и пятиться-то некуда.

— Тебѣ говорятъ?!—крикнетъ сапожникъ.

Яшка вытаращитъ глаза и трясется.

Вскочитъ сапожникъ, схватитъ плетку, Яшка закричитъ. Начнетъ сапожникъ хлестать Яшку, Яшка кусаетъ. Сапожникъ въ ярости вытолкаетъ Яшку на дворъ. Бился, бился съ нимъ сапожникъ—бросилъ учить; трезвый сталъ выгонять его изъ комнаты, и только пьяный потѣшался надъ нимъ, какъ только могъ. И если онъ билъ крѣпко Яшку, тотъ убѣгалъ подъ лѣстницу и заливался слезами и сидѣлъ до тѣхъ поръ, пока не придетъ мать и не вытащитъ его оттуда, или не приласкаетъ Татьяна Павловна, которая не любила сапожника. Вотъ эта-то женщина и стала говорить Яшкѣ, чтобы онъ шелъ жить къ нимъ, и онъ терся больше у нея. Но вдругъ ребята стали учить его, чтобы онъ насыпалъ сапожнику въ глаза табаку. Яшкѣ это понравилось и, наконецъ, когда ему

стало уже невтерпежъ, онъ укралъ у матери гривну и купилъ нюхательнаго табаку.

Яшка видѣлъ, что его врагъ послѣ обѣда иногда спитъ съ полузакрытыми глазами. Но какъ на зло послѣ этой покупки сапожникъ сталъ рѣдко ложиться спать послѣ обѣда, а если и спалъ, то больше лицомъ къ стѣнѣ, и ему было неловко насыпать ему табаку, потому-что нужно было взлѣзать на кровать, карабкаться по сапожниковой спинѣ... Недостало у Яшки терпѣнія; боялся онъ, чтобы табакъ не открыли у него, тѣмъ болѣе что его мать и сапожникъ его не нюхали, а сапожникъ только курилъ махорку. Вотъ, разъ вечеромъ, когда сапожникъ велѣлъ Якову сбѣгать въ лавочку за кислой капустой и сталъ отдавать ему копейку денегъ, Яковъ размахнулся и бросилъ въ лицо сапожника пригоршню табаку.

Совершивъ такой подвигъ почти въ одинъ моментъ, Яшка выбѣжалъ на дворъ, ничего не понимая, какъ ошалѣлый, и чуть не сшибъ съ ногъ мѣщанина, ткущаго нитки.

— Ахъ, чтобъ те, чертенокъ! сблудилъ, чай, опять что-нибудь?

Но Яшка ничего не слушалъ; онъ далеко уже бѣжалъ по улицѣ, что̀ удивило лавочника Петра Павлыча.

— Куда ты, дурачекъ, бѣжишь! Аль что укралъ? постой-ко?!

Яшка пуще прежняго пустился бѣжать! Ему было страшно; въ глазахъ у него рябило. Онъ пробѣжалъ улицу, переулокъ, наконецъ усталъ, оглянулся — никого нѣтъ. Тутъ въ его головѣ мелькнуло: куда? Онъ постоялъ и заплакалъ.

— О чемъ, мальчишка, плачешь? — спросилъ его какой-то чиновникъ.

Яшка заплакалъ пуще прежняго.

— На!!—и чиновникъ протянулъ Яшкѣ руку, на ладони которой было обкусанное яблоко.

Яшка робко взялъ яблоко и сталъ смотрѣть на него.

— Ну, что же ты? Ѣшь.

Яшка швырнулъ яблоко и пустился бѣжать, но скоро попалъ въ канаву, въ которой было съ четверть грязи. Кое-какъ онъ выползъ изъ грязи, но итти дальше не могъ.

Ему хотѣлось ѣсть; ноги болѣли. Но ему дышалось легче, чѣмъ у сапожника. Уже вечерѣло. Солнце садилось. Канава находилась около парка; напротивъ того мѣста, гдѣ сидѣлъ Яшка, былъ заплотъ. Было тепло. Сидѣлъ, сидѣлъ Яшка, боясь подняться потому, чтобы его не словилъ сапожникъ или кто-нибудь, сонъ одолѣлъ его, и онъ заснулъ.

Утромъ его растолкали двое городовыхъ.

— Тащи его, поди, околѣлъ,—говорилъ одинъ городовой другому.

— Видишь дышитъ. А чортъ съ нимъ — бросимъ!—говорилъ другой.

— Можетъ, пригодится.

— Однако ты ни одного еще не взялъ къ себѣ?

Яшка сѣлъ и дико смотрѣлъ на усатыхъ господъ въ солдатской одеждѣ.

— Чей ты?—спросилъ Яшку одинъ городовой.

Яшка глаза на него вытаращилъ.

— А вотъ мы посмотримъ!

На Яшкѣ была надѣта рубашка и поверхъ рубашки рваная, Осипа Харитоныча, жилетка, подъ которую помѣстилась бы свободно еще пара такихъ же Яшекъ.

— А жилетка-то ничего... Чать, полтинникъ стоитъ: изъ плису дѣлана, — любуясь жилеткой, говорилъ производившій у Яшки обыскъ городовой.

— Непремѣнно онъ у какого-нибудь вахтера укралъ ее... Что жъ съ нимъ?—оставимъ?!

— Гдѣ ты живешь?

Яшка опять вытаращилъ на городовыхъ глаза.

— Есть у тебя родители?

Яшка пустился бѣжать.

Но городовые его поймали и потащили въ будку, въ печи которой стояла чугунка съ картофелью!

— Дай! дай! Ан-лейбъ,—пропищалъ Яшка почухонски и подбѣжалъ къ печкѣ.

— Молчи, жиденокъ.

Городовой ненадолго вышелъ на улицу, а Яшка схватилъ палку и хотѣлъ ею достать чугунку, но та только опрокинулась.

— Ахъ ты, воръ!!

И вошедшій городовой выхватилъ изъ рукъ Яшки палку, два раза огрѣлъ ею его, а потомъ связалъ и связаннаго представилъ въ полицію.

Стали тамъ спрашивать Яшку: кто онъ, кто его родители, гдѣ онъ живетъ, — Яшка смотрѣлъ дико.

Вскорѣ въ газетахъ было напечатано такое объявленіе:

«Такого-то числа, въ такомъ-то кварталѣ***-й части, взятъ заблудившійся мальчикъ, называющій себя Яшкою, повидимому, 6 лѣтъ отъ роду, лицо у него бѣлое, волосы свѣтлорусые, одѣтъ въ синюю изъ пестряди рубаху и большую мужскую жилетку, о чемъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе съ тѣмъ, чтобы родители, родственники, либо знакомые сего мальчика явились лично для принятія его къ приставу исполнительныхъ дѣлъ ***-й части, въ которой названный Яшка въ настоящее время находится и ничего о себѣ объяснить не можетъ».

Можно себѣ вообразить, какую ярость произвелъ такой неожиданный поступокъ въ Осипѣ Харитонычѣ. Хотя большая часть табаку попала въ его открытый большой ротъ, но такъ какъ табакъ попалъ и въ оба глаза, то, ощущая боль въ нихъ, Осипъ Харитонычъ нѣсколько минутъ не могъ прійти въ себя и, протирая глаза своими кулаками и выплевывая табакъ, онъ сперва думалъ, что и глаза у него вывернутся изъ своихъ мѣстъ, и языкъ вытянется изъ глотки. О, онъ тогда въ клочки бы изорвалъ этого негодяя! Онъ метался, какъ звѣрь, по комнатѣ, не видя свѣту, ругался, кричалъ, уронилъ свое сидѣніе, натолкнулся на окно, расшибъ стекло, что возбудило смѣхъ и удивленіе мѣща-

нина Романа Саватѣева. На его хохотъ прибѣжала его любовница, ребятишки, а хозяйка съ дочерью выглядывали во дворъ изъ своихъ оконъ.

— Черти! дьяволы!.. Вѣдь ослѣпили,—кричалъ Осипъ Харитонычъ.

— Такъ и надо. Ты выше другихъ хочешь быть,—вотъ Богъ и покаралъ тебя,—говорила со смѣхомъ любовница мѣщанина.

— Проклятые!! Воды хоть дайте.

— Дайте ему воды,—сказала хозяйка.

— Гдѣ бы мы ее взяли: мы воду-то съ Невы беремъ; теперь она у насъ вся вышла. Вотъ вы запасливы: вы пьете кофей, вы и дайте,—сказалъ мѣщанинъ хозяйкѣ.

Хозяйка позвала одного изъ ребятъ и послала его къ Осипу Харитонычу съ чайною чашкою.

Промывши глаза, Осипъ Харитонычъ первымъ долгомъ сталъ искать Яшку.

— Онъ убѣгъ,—говорили ему.

— Некуда ему убѣжать. Я знаю, что его спрятали. Ну, такъ ладно же! Завтра же иду въ полицію и буду жаловаться на всѣхъ васъ. Я вамъ покажу!! Я кавалеръ; Георгія имѣю.

И Осипъ Харитонычъ заперся въ своей комнатѣ, сталъ дожидаться Матрены, выдумывая, что бы ему такое сдѣлать съ ней, то-есть чѣмъ бы ее хорошенько побить. Но Матрена нейдетъ. Ужъ вечеръ наступилъ, она нейдетъ и, вѣроятно, не будетъ, какъ это и раньше бывало. Пошелъ онъ въ кабакъ и тамъ напился до того, что едва вышелъ оттуда, какъ свалился, такъ и заснулъ, такъ что утромъ кабатчикъ долженъ былъ растолкать его.

— Братъ, Осипъ! Встань. Неравно раздавятъ.

Но Осипъ Харитонычъ спалъ. Пришлось кабатчику окатить его холодной водой и потомъ опохмѣлять.

Осипъ Харитонычъ пришелъ домой пьяный; но тамъ еще во дворѣ сказали ему, что Матрена еще утромъ была и потомъ, узнавши, что Яшка убѣжалъ, пошла розыскивать его.

Зло брало Осипа Харитоныча, и онъ, одѣвшись и выпивши еще для храбрости осьмушку, пошелъ въ полицію.

Такъ ему сказали, что Матрена уже получила своего мальчишку.

— Я прошу ее посадить, а мальчишку выдрать, потому онъ меня чуть-чуть слѣпцомъ на всю жизнь не сдѣлалъ. Я кавалеръ, имѣю Георгія, и вдругъ нищенскій парнишка меня уморить осмѣлился.

— Поди, поищи ее. Если она точно нищая, мы ее проморимъ мѣсяцъ-другой.

Осипъ Харитонычъ пошелъ на другой день въ ту церковь, гдѣ обыкновенно стояла Матрена; Матрена не бывала. Нищіе сказали ему, что она ушла съ Яшкой въ Питеръ.

Въ Питеръ сапожникъ не пошелъ.

Незадолго передъ вышеописаннымъ происшествіемъ, Матрена Ивановна стала попивать водку. Сперва ее потчевалъ Осипъ Харитонычъ по воскресеньямъ, потомъ ее стали завлекать къ этому веселящему и успокоивающему напитку нищіе. Сперва поили ее, потомъ стали требовать, чтобы и она угощала ихъ. Сперва она пила съ отвращеніемъ, потомъ мало-по-малу дошла до того, что, идя домой, непремѣнно заходила въ кабакъ и выпивала если не стаканъ, то рюмку, а если у нея было денегъ больше обыкновеннаго, она брала посудину съ водкой съ собой для того, чтобы угостить своего пріятеля, который непрочь былъ на-ночь выпить дарового. Матренѣ Ивановнѣ было скучно безъ дѣла, а выпивши водки, она спала и спала долго; но до безчувствія она еще ни разу не напивалась, а если, бывши въ гостяхъ у какой-нибудь своей такой же горемычной, какъ и она, пріятельницы, чувствовала, что ноги подкашиваетъ, то спала тамъ же. Но часто случалось, что деньги у нея выходили всѣ на водку, такъ что утромъ ей не на что было купить хлѣба, и она это несчастіе относила къ тѣмъ, которые любятъ прохаживаться на чужой счетъ. Ей не полюбились нищенки, стало скучно на Петербургской, надоѣло давать взятки городовымъ за право ходить по улицамъ съ кошелемъ. Опротивѣлъ Осипъ Харитонычъ, съ каждымъ днемъ становившійся придирчивѣе къ ней; ей было жалко Яшку, котораго вмѣсто того, чтобы учить ремеслу, какъ слѣдуетъ, Осипъ Харитонычъ только тиранилъ. Она не разъ заступалась за него, говоря сапожнику, что Яшка малъ, глупъ, потому что воспитывался у чухонъ, а, Богъ дастъ, подростетъ, будетъ понимать; ей было досадно и она высказывала, что чужого дитя никому не жалко, и его бьютъ какъ собаку, но сапожникъ и слушать не хотѣлъ ее и съ нею обращался, какъ съ подчиненнымъ ему человѣкомъ. Все это приводило Матрену Ивановну къ тому заключенію, что ей надо отсюда уйти. «Что я, въ самомъ дѣлѣ, пришита что-ли сюда? Питеръ-то слава тѣ Господи».— И ей припомнилась прошлая жизнь, когда она часто мѣняла мѣста: то жила на Пескахъ, то вдругъ попадала въ Коломну, то за Московскую заставу. Но тогда она была одна, теперь что ей дѣлать съ сыномъ? Надо его отдать кому-нибудь въ мастерство, но кому, если у нея нѣтъ знакомыхъ? Изъ ремесленнаго класса были у нея, правда, знакомыя жены мастеровъ,—но мужья ихніе говорили, что Яшка малъ, и всего лучше ей отдать его въ обученіе какому-нибудь мастеру, имѣющему свою мастерскую. Но у такихъ мастеровъ она потерпѣла неудачу. Въ однихъ мѣстахъ говорятъ: у насъ и такъ много, и этимъ не рады, въ другихъ—и самому хозяину съ семействомъ ѣсть нечего, въ третьихъ—хозяева пьяницы, и никто ихъ не хвалитъ. Поэтому желаніе переселиться въ Петербургъ съ каждымъ днемъ у нея становилось сильнѣе, только ее что-то удерживало на Петербургской: ей не хотѣлось совсѣмъ разссориться съ Осипомъ Харитонычемъ, который хотя и былъ скупъ и сварливый человѣкъ, но зато у него ей было тепло, и кромѣ него ея никто не безпокоилъ.

Послѣ поступка Яшки ей казалось уже несовсѣмъ удобно жить у Осипа Харитоныча, и поэтому, предъявивъ въ полиціи всѣ права на Яшку,

она пошла съ нимъ на Никольскій рынокъ, гдѣ надѣялась скорѣе продать его.

Больше недѣли Матрена Ивановна ходила на Никольскій рынокъ, терлась тамъ съ разными женщинами, нанимающимися въ услуженіе, много наслушалась тамъ всякой-всячины, перенесла разныя непріятности, а не нашлось въ нанимателяхъ такого человѣка, который бы взялъ къ себѣ Яшку. Если и были желающіе, то одни говорили, что мальчишка малъ, на немъ нѣтъ ни сапоговъ, ни фуражки, или,—что онъ смотритъ такимъ звѣренкомъ, что изъ него никакого проку не выйдетъ, и при этомъ каждый, осматривая его, какъ гуся или поросенка, дѣлалъ о немъ нелестныя для его матери заключенія. Все это Матрену Ивановну злило и выводило изъ терпѣнія, къ тому же голодный и мерзнувшій Яшка бѣжалъ отъ нея туда, гдѣ тѣсно, или забивался подъ столъ, выжидая, чтобы ему было удобнѣе сцапать ломоть булки или чернаго хлѣба. На рынкѣ были тоже мальчики его лѣтъ, но тѣ не продавались, имѣли на ногахъ сапоги и головы у нихъ были покрыты хоть платкомъ, и поэтому они, чувствуя свое превосходство надъ такимъ голышомъ, выказывали ему свое презрѣніе колотушками, щипками и плевками, что они очень скоро перенимали отъ своихъ матерей, тетокъ и сестеръ, гнавшихъ отъ себя прочь Яшку потому, что того часто торгаши ловили съ краденою булкою или хлѣбомъ, и поэтому очень недолюбливали всѣхъ бабъ, ихъ ребятишекъ, могущихъ, пожалуй, разворовать половину непроданнаго хлѣба опрокинуть столы или надѣлать еще что-нибудь хуже, тогда какъ съ ребятишекъ взятки—гладки, а съ ихъ матерей—что возьмешь, когда онѣ сами часто приходятъ сюда съ церковной паперти.

Нельзя сказать, чтобы такая жизнь, весь день подъ открытымъ небомъ, нравилась Яшкѣ, и для него было большою радостью, когда мать поворачивала отъ рынка въ которую-нибудь сторону. Это значило, что мать идетъ куда-нибудь, гдѣ и ему будетъ можно посидѣть и соснуть. Однако мать рѣдко тотчасъ съ рынка шла на ночлегъ. Она обыкновенно шла въ многолюдный кабакъ, гдѣ думала скорѣе сбыть съ рукъ Яшку. Они приходили въ заведеніе уже тогда, когда въ немъ было порядочное количество людей, только что начинающихъ раскучиваться, и постоянно получали приглашеніе побесѣдовать въ ихъ компаніи съ тѣмъ, что сама Матрена должна была показывать свои руки и разсказывать исторію о томъ, какъ ей обрѣзывали пальцы и отпиливали кость, хотя она ни того, ни другого не видала, а Яшка служилъ часто посмѣшищемъ для пьяной компаніи, которая его вертѣла во всѣ стороны, какъ котенка, заставляла бѣгать, плясать и пѣть, дразнила и т. п., за что сама Матрена была угощаема водкой, которою потчевали и Яшку. Матрена, конечно, была рада угощенію; пьяная она не заботилась о тепломъ углѣ, а о мягкой постели она уже давно не думала; до того же, что пьяная компанія издѣвается надъ ея сыномъ и учитъ его нехорошему,—ей не было дѣла:—Яшка ей не мѣшалъ, не просилъ ѣсть, своею особою доставлялъ удовольствіе людямъ. Такое фиглярство Яшкѣ сперва не нравилось, и онъ радъ былъ, когда компанія позабывала о немъ; тогда онъ забивался подъ столъ и сидѣлъ снова до тѣхъ поръ, пока его оттуда не выталкивали; потомъ онъ мало-по-малу втянулся въ это фиглярство и уже сталъ надоѣдать своимъ усердіемъ компаніи, которая не любила навязчивости. Было ли какое сожалѣніе въ пьяной компаніи къ Якову,—сказать трудно, если принять во вниманіе, что почти каждый посѣтитель заведенія провелъ свое дѣтство не лучше Яшки: были люди въ этой компаніи, которые даже завидовали Яшкѣ.

— Пусти его, еще носъ раскроитъ,—уговаривалъ товарищъ товарища, тормошившаго ребенка.

— Не хрустальный,—не разобьется. Мы въ его лѣта въ мастерской сажу глотали да пинки получали, а онъ благоденствуетъ,—отвѣчалъ другой товарищъ товарищу.

Изъ числа посѣтителей трехъ заведеній, куда въ теченіе дня заходила съ сыномъ Матрена Ивановна, было нѣсколько такихъ, которые были сами хозяева, а четверо—даже имѣли мальчиковъ. Къ нимъ Матрена Ивановна часто подъѣзжала съ просьбой о мальчишкѣ, но тѣ или заговаривали о другомъ, или отвѣчали такъ, что мать и надѣялась на нихъ только до другого дня.

— Что жъ мальченку-то моего берешь?—спрашивала Матрена Ивановна на другой день портного.

— А я развѣ обѣщалъ?

— Какъ же.

— Ну, такъ ты дура и больше ничего; мало что я спьяна-то скажу...

— Ты посовѣтуй!..

— Что я тебѣ могу посовѣтовать?..

— Да долго ждать-то.

— Какая ты важная особа! Право. Мы вотъ по недѣлѣ работы ждемъ, да по три мѣсяца за деньгами ходимъ. И ничего ты противъ этого не подѣлаешь, мать моя.

И мать била сына отъ злости,—сынъ мѣшалъ ей, за него она должна была платить за ночлегъ лишнія двѣ копейки, хотя тамъ, гдѣ она ночевала, помѣщеніе было очень маленькое, биткомъ набитое ночлежниками.

Ночлежники эти были все люди бѣдные, жалующіеся на свою судьбу и проклинающіе Божій міръ, въ которомъ они неизвѣстно для какой цѣли живутъ. Всѣ они думали, что выпросить милостынку или что-нибудь украсть, имѣя здоровыя руки, не составляетъ грѣха. Большинство держалось этого мнѣнія потому, что оно, во-первыхъ, или съ дѣтства влачило такую жизнь, не видя нигдѣ ни радостей, ни ласки, и общество смотрѣло на него какъ на негодныхъ людей, а помощи не подавало, а во-вторыхъ, если оно и принималось за какое-нибудь дѣло, то тѣ, которымъ оно служило, старались, такъ сказать, выжать изъ него силы для того, чтобы жить лучше на ихъ счетъ. Всѣ эти люди злились на людей, непохожихъ на нихъ, были оборваны, никогда не наѣдались, употребляя деньги

преимущественно на водку, жили общественно съ людьми ихъ сорта, имѣли друзей одинаковыхъ съ ними мнѣній, никогда не жаловались на маленькое нездоровье и часто умирали, выходя изъ питейнаго заведенія, въ ночлежныхъ помѣщеніяхъ, или кидались въ Неву или въ каналы.

Матрена Ивановна хотя и считала себя честною, ничѣмъ не запятнанною женщиною, потому-что весь ея промыселъ состоялъ въ томъ, что она протягивала руку съ тремя пальцами на церковныхъ папертяхъ и жила на собранныя такимъ образомъ деньги, но жизнь ея мало чѣмъ разнилась отъ жизни этихъ людей, и выходу изъ нея она не видѣла. Но еще если бы она была одна, тогда ей было бы легче; но у нея былъ сынъ, котораго ей никакъ не хотѣлось пустить по той дорогѣ, по которой идутъ, очертя голову, эти ночлежники. Къ тому же она была женщина смирная, въ ночлежномъ помѣщеніи къ компаніи не присоединялась, а ложилась спать и гнала отъ нихъ прочь Яшку, котораго компанія учила разнымъ штукамъ не изъ желанія сдѣлать изъ него вора, но ради развлеченія. Поэтому такое обращеніе ея ночлежникамъ не нравилось, потому-что они боялись, чтобъ трехпалая нищая не выдала ихъ полиціи, и ей приходилось часто перемѣнять мѣста ночлеговъ.

Такъ прошло по крайней мѣрѣ полгода. У Яшки была рваная фуражка, рваныя ботинки, которыя Матренѣ пришлось стащить на толкучку, а для того, чтобы Яшка не мерзъ, она накидывала на его плечи платокъ, который немного согрѣвалъ грудь. Матрена стала больше сидѣть у церкви: у нея явилось отвращеніе отъ рынка, отъ ночлежниковъ, отъ кабаковъ; она говорила несвязно, такъ что многіе называли ее помѣшанной.

Въ одну холодную зимнюю ночь компанія ночлежниковъ долго бушевала въ своей каморкѣ, но Матрена съ сыномъ спала. Вдругъ въ эту каморку, помѣщающуюся въ третьемъ этажѣ, имѣющую одно окно съ разбитыми стеклами и почему-то заколоченное досками извнутри, вошла полиція и приказала всѣмъ итти за собой. Стали толкать Матрену.

Матрена итти не хотѣла, показывая на свои пальцы; однако повели и ее.

— И мальчика берите,—крикнула Матрена со злости.

— Мальченку намъ не надо. Ему поди всего-то пятый годъ—сказали полицейскіе.

— А кто жъ его беречь-то будетъ? Нешто я могу его оставить въ квартирѣ? Да онъ все разворуетъ,—проговорила хозяйка этой каморки, которой тоже скрутили руки.

Полицейскіе посовѣтовались другъ съ другомъ и нашедши, что мальчика оставить въ пустой квартирѣ неловко, взяли съ собой и Яшку, хотя ночлежники—шесть мужчинъ и двѣ женщины—протестовали противъ этого, опасаясь того, чтобы мальчишка не показалъ на нихъ чего-нибудь, такъ какъ онъ имѣлъ уши, глаза и языкъ. Они даже просили полицейскихъ не брать Матрену, но мнѣнія ихъ насчетъ ея были различны; знакомые съ полиціей и судомъ люди прямо указывали на Матрену, говоря: «напрасно всю нашу компаню берете, во всемъ виновата, вона, эта трехпалая. У ней и три пальца на двухъ рукахъ, а она зато имѣетъ зоркіе глаза, и въ головѣ у ней хитрости всякій позанять можетъ...»

Камера въ полиціи была, что называется биткомъ набита всякими людьми, но Матрена съ сыномъ попала въ женскую.

Черезъ недѣлю Яшку выпустили изъ полиціи, а мать отвели въ тюрьму, хотя она и ни въ чемъ не была виновата.

Яшка вышелъ изъ полиціи, напутствуемый арестантами такими словами: «теперь у тебя ничего и никого нѣтъ. Иди въ первую лавку, украдь что-нибудь, и тебя опять возьмутъ сюда. А здѣсь весело: поютъ пѣсни, играютъ въ карты, разговариваютъ, поятъ, кормятъ».

Яшкѣ было холодно на улицѣ; онъ не зналъ, куда ему итти, а итти въ лавку, какъ его учили, онъ боялся.

Яшка мерзъ и плакалъ.

— О чемъ, мальчикъ, плачешь?—спрашивали его прохожіе.

Яшка ничего не могъ отвѣчать.

— Заблудился, должно-быть бѣдный мальчишка. Чей ты?

Яшка дико смотрѣлъ на всѣхъ.

— Странно, что онъ стоитъ у полиціи, и полиція не возьметъ его?—говорили въ толпѣ, глазѣвшей на Яшку.

Яшкѣ дали денегъ, но Яшка не зналъ, что ему дѣлать съ деньгами; толпа все росла.

— Идите прочь! Его только-что изъ полиціи вытолкали, потому мать у него нищая и въ кражѣ замѣшана; поэтому ее въ тюрьму взяли.

— Но какъ же ребенокъ?

— Пусть идетъ, куда хочетъ.

— А если у него нѣтъ квартиры или хозяина?

— Дѣло не наше. Пусть дѣлаетъ, что знаетъ,—спокойно отвѣчалъ городовой.

— Жалко мальчишку. Взять развѣ мнѣ его себѣ?—сказалъ одинъ рябой мужчина въ полушубкѣ и въ мерлушчатой шапкѣ, и потомъ обратясь къ Яшкѣ, сказалъ.

— Мальчонко, иди ко мнѣ.

Яшка глядѣлъ на него лукаво.

— Что глядишь-то какъ быкъ?—Не обижу. У меня своя лавка; къ торговлѣ обучу. Ну, что жъ ты?

Яшка попрежнему озирался на народъ.

— Пошли, что стоите! Экая невидаль,—говорилъ городовой и гналъ толпу отъ полиціи.

Мужчина взялъ Яшку за руку, онъ заревѣлъ; мужчина хотѣлъ посадить его на руки, Яшка кусается.

— Точно собака съ цѣпи! А вотъ мы разузнаемъ суть,—проговорилъ мужчина въ мерлушчатой шапкѣ и повелъ Яшку въ полицію.

Съ полиціей мужчина былъ знакомъ, и ему скоро разрѣшили взять Яшку къ себѣ.

Взявшій къ себѣ Яшку мужчина былъ крестьянинъ Филиппъ Егорычъ Масловъ. Онъ торговалъ на толкучкѣ разнымъ тряпьемъ, а жена его, Авдотья Исаевна, торговала тоже на толкучкѣ мелочью—чулками, штанами, платками и т. п. Маслову хотѣлось давно прослыть между торгашами состоятельнымъ торговымъ человѣкомъ и имѣть мальчика, котораго онъ никакъ не могъ пріобрѣсти даромъ. Хотя Масловъ торговалъ въ одной маленькой лавчонкѣ или шалашѣ и все могъ въ ней дѣлать самъ, но, имѣя еще мальчика, онъ думалъ, что покупатели на него будутъ больше обращать вниманія, чѣмъ на другихъ товарищей, не имѣющихъ мальчиковъ, потому-де, что у Маслова много товару и много покупателей. Масловъ одѣлъ Яшку такъ, что Яшка походилъ теперь въ пальтишкѣ на другого человѣка. Но Масловъ только этимъ и ограничился. Правда, Яшка спалъ въ квартирѣ Маслова въ углу въ прихожей, Яшкѣ давали хлѣба, огурца, а иногда и вареную печенку (съ собой добрые супруги Яшку никогда не кормили, и того, что сами ѣли, ему не давали), зато Яшка долженъ былъ дѣлать все, что прикажетъ самъ Масловъ или его жена. Яшка долженъ былъ воду и дрова таскать, полы мести и затирать, угождать прихотямъ хозяина и хозяйки, таскать тяжести, въ родѣ того, что онъ долженъ тащить за собой санки съ товаромъ хозяевъ до толкучки, бѣгать для нихъ тамъ за кипяткомъ, бѣгать съ разными порученіями и за каждую оплошность получать шлепки. Такое движеніе, кромѣ исполненія такихъ порученій, которыя были не по силамъ, Яшкѣ нравилось; но онъ былъ голоденъ, надъ нимъ всѣ смѣялись, всѣ его били, и, главное,—ему было скучно торчать въ лавкѣ безъ дѣла и получать подзатыльники отъ хозяина, если у того долго не было покупателей, и хозяину было скучно.

— Что жъ ты, чертенокъ, стоишь тутъ безъ дѣла?—спросилъ вдругъ хозяинъ Яшку, стоящаго въ дверяхъ и ковыряющаго отъ скуки носъ.

Яшка попятился назадъ.

— Ты, шельма эдакая, долженъ кричать прохожимъ: чего изволите? пальты! брюки! жилеты-съ!—говорилъ Масловъ, теребя Яшку за уши.

Сосѣди хохотали. Но такая наука не нравилась Яшкѣ, и онъ больше и больше былъ молчаливъ.

Напримѣръ, стоитъ онъ у сундука и чертитъ что-то пальцемъ по куржаку.

— Ты что стоишь? Нѣтъ, чтобы куржакъ полой стеръ!

Яшка при первомъ словѣ вздрогнетъ и стоитъ на одномъ мѣстѣ.

Хозяинъ схватитъ аршинъ, Яшка кинется вонъ изъ лавки. Хозяинъ догоняетъ и начинаетъ бить мальчишку на потѣху другихъ торгашей.

Ничего не помогаетъ. Яшка не слушается. Пересталъ хозяинъ кормить мальчика,—мальчишка сталъ красть.

— Боже ты мой милосердный, что стану я съ негодяемъ дѣлать?—думаетъ и говоритъ Масловъ.

— Прогони, и все тутъ; еще пожаръ сдѣлаетъ. Недаромъ мать у него воровка,—говорила Маслову жена.

Масловъ сталъ принимать крутыя мѣры; дома онъ просто тиранилъ мальчишку такъ, что тотъ сталъ убѣгать къ сосѣдямъ, которые иногда ласкали его.

— Терпи, голубчикъ, ты еще маленькій,—говорила ему какая-нибудь старушка.

— Бьютъ они... Больно бьютъ. Ѣсть не даютъ,—говорилъ Яшка.

— А ты угождай.

Хотѣлось Яшкѣ угодить хозяину, но не было къ тому случая. Еще лежа на полу, Яшка думаетъ угодить ему или женѣ его, и какъ онъ встанетъ да начнетъ что-нибудь дѣлать, хозяева бранятъ его, что онъ дѣлаетъ все напоказъ; заплачетъ Яшка—бьютъ; пошлютъ Яшку куда-нибудь,—хочется Яшкѣ скорѣе сбѣгать,—придетъ назадъ,—говорятъ, зачѣмъ ходилъ долго, начнутъ допытываться, гдѣ былъ такъ долго. Яшка злится, и у него является мысль сдѣлать съ хозяиномъ какую-нибудь штуку.

Иногда хозяинъ и потѣшался надъ Яшкой: острилъ, щипалъ его. Это онъ дѣлалъ, находясь по полученіи изряднаго барыша въ хорошемъ расположеніи духа; приласкать или похвалить Яшку было не въ характерѣ хозяина, который самъ изъ мальчишекъ попалъ въ торгаши, и у него своихъ дѣтей не было. Подобно Маслову и торгаши—сосѣди его—позволяли себѣ развлекаться Яшкой, а другіе мальчишки по вечерамъ позволяли себѣ оскорблять Яшку по-своему. Яшка злился на всѣхъ: ему хотѣлось вырваться отъ Маслова, но уйти было нельзя, потому что онъ былъ постоянно на глазахъ то у самого Маслова, то у его жены.

Впрочемъ, былъ у Яшки пріятель, тринадцатилѣтній мальчикъ Петька изъ сосѣдней лавочки, и вотъ почему Яшка любилъ больше стоять у дверей.

Выйдетъ Яшка къ двери, посмотритъ направо—Петька стоитъ у двери. А Петька былъ шустрый, рябой мальчишка. Онъ постоянно огрызался съ своимъ хозяиномъ и раньше этого перебывалъ уже у нѣсколькихъ хозяевъ.

— Яшка, гляди ястребъ!—скажетъ Петька.

Яшка глядитъ кверху и по сторонамъ, Петька броситъ въ Яшку камешекъ или комокъ снѣгу.

— Яшка, иди сюда!

— Нельзя.

— А ты возьми да и иди. Ты уйди отъ него, убѣги.

— Врешь?!

— Ей-Богу! Убѣжишь—другого возьметъ. Украдь.

— Боюсь.

Хозяева позовутъ мальчишекъ, а у Яшки голова точно не на своемъ мѣстѣ. Онъ думаетъ: «погоди жъ ты, украду и убѣгу».

И Яшка хотѣлъ убѣжать, хотѣлъ украсть что-нибудь, но не зналъ, чтобы ему такое украсть. Ему хотѣлось украсть полушубокъ у хозяина, только тотъ былъ очень тяжелъ.

Всѣ приготовлялись къ Пасхѣ. Торгаши были злѣе обыкновеннаго. Въ субботу у Маслова шла стряпня, пахло хорошо, какъ никогда до того Яшка не слыхалъ. Всѣ пошли къ заутренѣ, а Яшку оставили дома; немного погодя пришелъ Петька, раз-

ломалъ замокъ, и вотъ съ нимъ-то Яшка забралъ кое-какія печенія со стола, завернулъ ихъ въ салфетку, розлилъ по столу водку, одѣлся и ушелъ изъ дому.

Безпрепятственно они влѣзли въ дровяной дворъ подъ ворота и забились между двухъ полѣнницъ. Тамъ онъ покушалъ и заснулъ. Передъ разсвѣтомъ Петька убѣжалъ съ вещами и потомъ не являлся цѣлый день.

Между тѣмъ въ квартиру Маслова забрались воры и утащили немало добра.

Начали разыскивать Яшку,—Яшки нѣтъ нигдѣ; Петька струсилъ и пошелъ въ дровяной дворъ, но его, когда онъ пошелъ назадъ, увидалъ сторожъ двора и сталъ ругать, зачѣмъ онъ шляется; однако Петька убѣжалъ, а у сторожа закралось подозрѣніе, не спряталъ ли чего этотъ мальчишка, и явилась мысль: «если онъ что спряталъ, то я немножко разживусь».

Сторожъ отыскалъ только Яшку. Онъ зналъ Яшку, потому-что тотъ мимо дровяного двора ходилъ съ Масловымъ на толкучку.

— А, соколикъ! тебя давно ужъ ищутъ. Говори, гдѣ краденое?—напалъ на Яшку сторожъ.

— Петька съѣлъ.

— Нѣтъ не съѣлъ, а ты говори, гдѣ спряталъ.

— Я не воровалъ.

— Ну, хорошо. Такъ иди же къ Маслову.

— Пусти, ради Христа.

— А-а? боишься. Послушай, мальчишка, я тебя пущу, только ты скажи: гдѣ ты со своимъ пріятелемъ вещи спряталъ?

— Ей-Богу же я не воровалъ.

И сторожъ свелъ Яшку къ Маслову, а Масловъ въ полицію.

Но въ полиціи только наказали Яшку и Петьку розгами, а потомъ выпустили; хозяева обоихъ пріятелей прогнали отъ себя.

— Не тужи Яшка, мы найдемъ себѣ новыхъ хозяевъ,—утѣшалъ Яшку Петька.

Петька повелъ Яшку на толкучку, но тамъ, какъ только увидали воровъ, всѣ торгаши, какъ стая собакъ, накинулись на нихъ, и много они получили себѣ въ спины калачей.

— Это все ты!—говорилъ Яшка Петькѣ.

— Нѣтъ ты! Ты меня училъ,—говорилъ Яшка.

— Пойдемъ воровать.

И пріятели цѣлый день ходили по городу, а къ вечеру Петька убѣжалъ отъ Яшки.

Яшка еще побродилъ по улицамъ, зашелъ въ одну лавочку, попросилъ Христа ради.

— Нѣтъ что ли родителевъ-то?—спросилъ лавочникъ Яшку, когда тотъ послѣ отказа лавочника сталъ хныкать.

— Нѣтъ.

— Гдѣ же ты жилъ?

— У Маслова... на толкучкѣ торгуетъ... убѣжалъ.

— Ну, малецъ, уходи... ты, должно, воръ.

— Дяденька... хоть въ полицію отправь.

— Иди, иди... Ужъ не стащилъ ли чего?

Лавочникъ осмотрѣлъ Яшку, далъ ему ломтикъ хлѣба и выпроводилъ вонъ изъ лавки, чувствительно толкнувъ его въ шею.

Когда лавочникъ выталкивалъ изъ лавки Яшку, по панели шла пожилая женщина съ корзиною на головѣ.

— Что, Данило Ульянычъ, вора поймалъ?—спросила она лавочника остановясь.

— Да много ихъ тутъ шатается. Кто его знаетъ: проситъ милостынку, а можетъ, и воръ.

— Такъ. Экой махонькой...—проговорила женщина и сняла съ головы корзинку. Въ корзинкѣ оказались яблоки и лимоны.

— Тетушка, пусти меня...

— Ишь ты!.. Ну, братъ, и выдумалъ же ты. Иди туда, откуда пришелъ...

— Матери у меня нѣту, въ тюрьму взяли.

Это заставило остановиться и лавочника, и женщину.

— Ишь ты! Значитъ извѣстнаго поля ягода,—сказалъ лавочникъ улыбаясь.

— А кто твоя мать была?—спросила женщина.

— Нищая.

— Ахъ она... И украла?.. Вотъ и подавай послѣ этого...—сказалъ лавочникъ; а потомъ прибавилъ:—да и тебя, братъ, видно тоже надо туда спровадить; не даромъ ты давеча въ полицію просился.

— Виноватъ я что ли, — огрызался Яшка: — когда у матери всего было три пальца?

Лавочникъ захохоталъ, а женщина спросила:

— Три, говоришь?

— Три. На этой...—И Яшка показалъ на лѣвую руку.

— А какъ твою мать звали?

— Матрена.

— Матрена? Какъ не знать Матрены: я ей часто подавала. Только я тебя что-то не видала у нея.

— Тетушка, возьми меня,—заплакалъ Яшка.

— Возьми, коли знаешь его мать,—сказалъ лавочникъ.

— Кто его знаетъ. Я у нея не видала мальчишки. Впрочемъ, завтра я справлюсь. Ну, мальчишка, иди.

Хозяйка, у которой жила на квартирѣ эта торговка, стала гнать ее и мальчишку, но та показала на Яшку, который трясся отъ холода. Хозяйка согласилась оставить мальчишку только до утра.

Утромъ эта женщина справилась на паперти одной церкви и узнала, что дѣйствительно у трехнадцатой Матрены былъ этотъ мальчишка, что онъ рѣдко стоялъ съ нею рядомъ, а больше гдѣ-нибудь бѣгалъ, и что Матрена теперь сидитъ въ тюрьмѣ по обвиненію въ кражѣ, что, говорятъ, на нее свалили ночлежники, которыхъ будто бы уже выпустили.

— Ты что ли себѣ на воспитаніе его берешь?—спросили нищіе торговку.

— Куда мнѣ его. Я сама-то живу въ углѣ.

— Надо его пристроить куда-нибудь, а то избалуется. Пропащій человѣкъ будетъ.

— Ужъ я пристрою.

Эта торговка имѣла нѣсколько постоянныхъ покупателей. Вотъ къ одному изъ нихъ, нѣмцу, она и пошла съ Яшкой. Дорогой она учила Яшку такъ:

— Ты, смотри, помни, что зовутъ меня Настасьей, тетушкой Настасьей Ивановной. Если будутъ тебя спрашивать: гдѣ мать? ты говори въ больницѣ. Ты говори: вотъ меня тетушкѣ Настасьѣ Ивановнѣ мамонька препоручила. Дѣлай, говорила, съ нимъ, что хочешь, а главное — хорошимъ людямъ отдай.

Яшка молчалъ. Ему все равно было, куда бы ни попасть, лишь бы не итти въ морозъ.

Подошли къ большому четырехъ-этажному съ подвалами дому, на которомъ было много вывѣсокъ.

— А какъ меня зовутъ?—спросила вдругъ женщина Яшку.

— Не знаю.

— Какой ты глупый. Тетушка, молъ, Настасья Ивановна. А тебя какъ:—Екимъ!

— Яшка!

— Ну, Яшка Петровъ,—и все тутъ.

И они вошли въ квартиру нѣмца, помѣщавшуюся въ подвалѣ со сводами.

Въ большой комнатѣ на скамейкахъ, около двухъ стѣнъ и двухъ оконъ, сидѣло въ разныхъ позахъ мальчиковъ восемь, и нагнувшись что-то шили, заштопывая иголками сукно или коленкоръ въ тиковые штаны, надѣтые на нихъ; кромѣ штановъ на нихъ были синія пестрядныя рубашки, сшитыя на нѣмецкій манеръ. На небольшомъ полукругломъ столѣ, покрытомъ чернымъ сукномъ, стояла жестяная кружка съ водой, ножницы и кусокъ мѣлу.

Мальчики всѣ были съ длинными волосами, съ блѣдными, худыми щеками; нѣкоторые изъ нихъ кашляли. При входѣ торговки съ Яшкой они разговаривали вполголоса и съ удивленіемъ поглядѣли на Яшку.

— Дома, ребятки, самъ-то?—спросила торговка мальчиковъ.

— Нѣту; ушелъ къ давальцу, тутъ недалеко.

Торговка ушла. Черезъ часъ она вернулась съ Яшкой опять въ эту квартиру. Нѣмецъ былъ дома.

Это былъ толстенькій, лысый господинъ съ высокимъ лбомъ, съ рыжими волосами и одѣтый въ сѣрый пиджакъ. Когда торговка вошла въ швальню, онъ хлесталъ линейкой одного мальчика.

— Не время... другой разъ приходи,—проговорилъ нѣмецъ сердито, увидя торговку.

— Я, Иванъ Иванычъ, не за деньгами: я къ вамъ мальчика привела.

— Не надо!

— Онъ изъ-за хлѣба... Мнѣ за него ничего не надо.

— Не надо. Пошла вонъ!

Торговка пошла къ самой хозяйкѣ, т.-е. женѣ нѣмца. Самъ нѣмецъ помѣщался во второмъ этажѣ. Черезъ посредство жены нѣмецъ согласился взять къ себѣ Яшку, который и былъ отведенъ въ тотъ же день въ швальню.

Жизнь въ швальнѣ Яшкѣ съ самаго начала показалась противною. Мальчики смѣялись надъ нимъ, дѣлали на его счетъ нелестныя замѣчанія, называя его моченой грушей, хотя онъ не былъ корявымъ; острили надъ его манерами и надъ каждымъ его движеніемъ, какъ будто этимъ вызывая съ его стороны какое-нибудь возраженіе; подмастерья гнали его прочь и дѣлали видъ, что они его хотятъ ударить или сморкнуть въ его сторону. Пришелъ самъ Иванъ Иванычъ, кое у кого посмотрѣлъ работу, закричалъ на одного пятнадцатилѣтняго мальчика, схватилъ его за длинные волосы и началъ возить по швальнѣ. Остальные мальчики хладнокровно смотрѣли на эту сцену, двое подсмѣивались, одинъ вздрагивалъ. Яшкѣ было страшно до того, что онъ готовъ былъ убѣжать. Оттеребивши одного за волосы, нѣмецъ принялся тузить другого, а третьяго завтра же приказалъ отвести въ полицію и попросить отодрать розгами. Но къ Яшкѣ онъ обратился ласково.

— Ты, любезный, будешь учиться по линейкѣ шить, а потомъ посмотримъ.—Иванъ, очисти для него мѣсто, — обратился онъ къ пожилому, худощавому человѣку въ пальто, только-что пришедшему съ улицы, и затѣмъ нѣмецъ ушелъ.

По уходѣ нѣмца всѣ мальчики въ швальнѣ заговорили; началась ругань. На Яшку никто не обращалъ вниманія. Немного погодя стали ужинать, т.-е. хлебали какую-то бурду, но Яшку не пригласили; такъ онъ и просидѣлъ на одномъ мѣстѣ. Послѣ ужина нѣсколько мальчиковъ стали осматривать Яшку, разспрашивать его, а нѣкоторые стали даже вызывать его на драку. Два восемнадцатилѣтнихъ мальчика шили, потому-что имъ дано было сшить на урокъ.

Спальня мальчиковъ нѣмца помѣщалась рядомъ со швальней за перегородкой, въ которую свѣтъ проходилъ сверху, такъ-какъ она не доходила до потолка. За этой перегородкой около стѣны были сдѣланы широкія нары изъ досокъ, а на нихъ лежали на подобіе подушекъ, мѣшки, набитые соломой; на двухъ нарахъ было два тюфяка, но тѣ принадлежали большимъ мальчикамъ, тѣмъ, которые теперь шили. Здѣсь было душно, сыро. Мальчики улеглись спокойно, но Яшкѣ мѣста не оказывалось на нарахъ, и ему пришлось лечь на полу, который былъ очень грязенъ, потому-что мылся раза три въ годъ, и то на деньги всѣхъ мальчиковъ: подостлать Яшкѣ что-нибудь никто не далъ, потому-что сами они подъ себя стлали свои халатишки.

На другой день всѣ мальчики были разбужены въ пять часовъ и занялись шитьемъ. Главный подмастерье и закройщикъ Никитинъ, Матвѣй Алексѣичъ, усадилъ Яшку чуть не къ самой двери и заставилъ шить на холстѣ. Большого труда стоило Яшкѣ владѣть иголкой: онъ хотѣлъ убѣжать, потому-что сидѣвшій съ нимъ рядомъ мальчикъ до слезъ донималъ его своими остротами, тычками и ученьемъ, за которое онъ отъ Никитина получалъ выговоры. Однако день прошелъ благополучно: онъ завтракалъ, обѣдалъ, ужиналъ; хозяинъ его похвалилъ; онъ познакомился съ тремя мальчиками, и ему дали мѣсто

на однѣхъ изъ наръ, такъ какъ хозяинъ нѣмецъ одного мальчика прогналъ.

Всѣ мальчики, работавшіе у нѣмца, были дѣти бѣдныхъ родителей, которые отдали ихъ нѣмцу или получивши отъ него малую толику денегъ, или даромъ, единственно для того, чтобы они вышли отъ него портными; но надо сказать правду, что всѣ отдавали мальчиковъ потому, чтобы избавиться отъ нихъ. Всѣ мальчики жили даромъ до извѣстнаго срока, до 15- и 17-лѣтняго возраста, а потомъ хозяинъ долженъ былъ имъ платить жалованье. Теперь же за работу нѣмцу они получали отъ него нары, пищу и одежду, состоявшую изъ халатовъ и рубашекъ съ штанами, сапогъ и фуражки; а которые постарше были, тѣ могли въ праздничные дни что-нибудь починивать на волю, и такимъ образомъ зарабатывать деньги себѣ. Весь день мальчики были заняты шитьемъ; если у кого не было работы, такъ разговаривалъ, острилъ, и если онъ былъ моложе другихъ, старшіе давали ему свою работу, обѣщая въ праздникъ угостить водкой и закуской. Все развлеченіе мальчиковъ состояло въ пѣсняхъ и въ томъ, что они острили другъ надъ другомъ; а въ праздникъ, если не было работы, шли развлекаться за ворота куда-нибудь подальше отъ дома или въ кабакъ, гдѣ и прокучивали всѣ деньги.

Подъ вліяніемъ такихъ товарищей росъ Яшка и мало-по-малу всосался въ эту жизнь. Какъ ни тяжело ему было, какъ ни трудно привыкать къ житью и сидѣнью, не разгибая спины по цѣлымъ днямъ, а онъ привыкъ, дожидаясь то завтрака, то обѣда, то ужина и наръ, а затѣмъ субботы и воскресенья, въ которое онъ могъ выйти на свѣжій воздухъ или его кто-нибудь приглашалъ въ кабакъ, потому-что ему больше другихъ приводилось получать отъ нѣмца побои за то, что онъ скверно шилъ. Онъ умѣлъ острить какъ угодно, пѣть пѣсни, но къ этому его нужно было вызвать чѣмъ-нибудь особеннымъ. Онъ больше молчалъ; на него какъ будто никакая острота и насмѣшка не дѣйствовали; зато ужъ если на него нападетъ стихъ острить или пѣть, то онъ всѣхъ заткнетъ за поясъ.

Такъ онъ прожилъ у нѣмца три года. Въ это время нѣсколько человѣкъ умерло изъ артели, нѣкоторые отошли отъ нѣмца, а Яшка остался попрежнему простымъ мальчишкою съ тѣмъ, что хозяинъ на него налегалъ часто, заставляя напримѣръ сшить сюртукъ въ однѣ сутки. Въ это время Яшка уже хорошо шилъ и могъ въ праздникъ заработать на себя копеекъ пятьдесятъ, но эти деньги уходили всѣ на угощенія въ трактирѣ или кабакѣ, на что его постоянно вызывали товарищи, которые все свободное время хотѣли провести на отличку, чтобы было о чемъ поговорить въ рабочее время.

На четвертый годъ жизни у нѣмца, въ швальню пришла его мать. Она была уже старуха. Яшка обрадовался ей, хотѣлъ жить вмѣстѣ съ нею, но она сказала, что хочетъ итти въ богадельню, и пошла просить нѣмца, чтобы тотъ не обижалъ Яшку. Нѣмецъ далъ старухѣ денегъ, разспросилъ ее: откуда она родомъ, гдѣ родился Яшка и, обѣщавъ изъ Яшки сдѣлать хорошаго человѣка, велѣлъ ей подписать какую-то бумагу. Иванъ Иванычъ позвалъ Яшку. Яшка, живя у нѣмца, уже успѣлъ выучиться настолько грамотѣ, что разбиралъ печатное и умѣлъ подписывать свою фамилію.

— Подписывай,—сказалъ нѣмецъ.

Не подозрѣвая ничего, Яшка росписался за мать и получилъ отъ хозяина полтинникъ денегъ на водку.

Съ этихъ поръ нѣмецъ сталъ ласковѣе съ Яшкой. Яшка теперь меньше шилъ, а больше былъ разсыльнымъ хозяина, что не нравилось товарищамъ, но онъ все-таки въ товарищескомъ кругу былъ попрежнему щедрымъ, и, что дѣлалось въ швальнѣ, до хозяина не доходило, а дѣлалось тамъ иногда многое не во вкусѣ хозяина. Зато Яшка рѣдко получалъ какую-нибудь работу со стороны, и если получалъ доходы, то отъ давальцевъ, которымъ приносилъ вещи, и отъ этого у него развилось попрошайничанье и лганье. Хозяинъ же платья ему не давалъ.

Прошло еще три года. Яшка сталъ понимать, что ему даромъ работать и служить хозяину не приходится, и Яшка, какъ его называли обыкновенно всѣ и какъ называлъ онъ себя самъ, хотя отъ матери онъ и слыхалъ, какъ звали его отца, сталъ поговаривать нѣмцу и о платѣ. Нѣмецъ или ничего на это не отвѣчалъ, или грозился отправить его въ полицію. Товарищи стали подстрекать Яшку приступить къ хозяину и, если онъ не будетъ давать денегъ, уйти отъ него. Яшка такъ и сдѣлалъ. Послѣ сцены съ нѣмцемъ онъ утащилъ изъ швальни сукно, заложилъ его и началъ пьянствовать, надѣясь скоро найти другое мѣсто. Но его, пьянаго же, привели въ полицію и отдали подъ судъ.

Яшка не сознался, что онъ укралъ сукно. Онъ говорилъ, что онъ отъ нѣмца никогда за работу не получалъ ни копейки денегъ.

— Ты не долженъ былъ получать до семнадцатилѣтняго возраста. Тебя мать отдала Ивану Иванычу на срокъ,—отвѣчали ему и показывали засаленную бумагу.

— Меня не мать отдала нѣмцу, а какая-то торговка,—отвѣчалъ Яшка.

— Ахъ ты, свинья! Тебя такъ учили въ полиціи показывать. Это не ты подписывалъ?—И ему показывали на подпись. Тутъ Яшка понялъ, что нѣмецъ сдѣлалъ съ его матерью штуку. Но спросить теперь мать объ этомъ было трудно, потому-что она назадъ тому три года убѣжала изъ богадельни, и трупъ ея нашли на взморьѣ, только не могли опредѣлить—чей онъ, потому что онъ уже сильно разложился.

Судебная палата черезъ полтора года по арестѣ Яшки приговорила его за воровство къ тюремному заключенію на два мѣсяца.

По выходѣ изъ тюрьмы съ званіемъ Якова Савельева, Яшка долго ходилъ къ разнымъ хозяевамъ портнымъ, но его никто не принималъ на томъ основаніи, что его паспортъ былъ замаранъ, и онъ за воровство сидѣлъ въ тюрьмѣ. Что было дѣлать

ему? Денегъ нѣтъ, за квартиру просятъ денегъ, хочется ѣсть, никуда на работы не принимаютъ, а воровать онъ не умѣетъ, сойтись съ ворами боится. Къ счастью натолкнулся онъ на биржу и тамъ проработалъ мѣсяца два, но зато всѣ деньги уходили на ѣду и водку, отъ которой онъ уже не могъ отвыкнуть, да и тяжелая работа на биржѣ какъ-то невольно тянула его по праздникамъ развлечься въ кабакѣ. Наконецъ онъ захворалъ; но скоро поправился. Доктора нашли, что онъ хотя и слабъ немножко, но можетъ жить внѣ больницы. Яшка просилъ, чтобы его еще подержали въ больницѣ, но его выписали. Вышедши изъ больницы, Яшка чувствовалъ, что онъ не въ силахъ работать на биржѣ... Еще не рѣшивши, что ему предпринять, онъ пошелъ зря, куда глаза глядятъ. Онъ шелъ долго и, наконецъ, зашелъ въ такую улицу, гдѣ и дома поплоше, и мостовыя нѣсколько лѣтъ не починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги устали, на квартиру итти некуда, и онъ, задумавъ завтра итти на какую-нибудь фабрику, рѣшился поспросить дворниковъ, нѣтъ ли тутъ квартиры, гдѣ бы ему можно было переночевать. Присѣлъ Яшка къ одному каменному дому и отъ нечего дѣлать сталъ смотрѣть въ подвальное окно. И видитъ онъ, что тамъ нѣтъ никого: на столѣ лежитъ коврига хлѣба, какой-то горшокъ съ ложкой... Онъ всталъ безсознательно, вошелъ во дворъ и подошелъ къ двери, гдѣ, по его мнѣнію, находилась комната съ ковригой хлѣба. «Мнѣ бы только хлѣба», думалъ онъ. Но дверь заперли на замокъ... Яшку пробираетъ дрожь; ему хочется сорвать замокъ: онъ пробуетъ, но силъ нѣтъ... Замокъ худой, накладка уже надломлена, а силъ нѣтъ... Вдругъ онъ увидѣлъ около стѣны ломикъ, похожій на тупое долото, чѣмъ отбиваютъ намерзнувшій снѣгъ съ панели, и, ни о чемъ не думая, засунулъ его за накладку и сталъ пробовать. Скоро накладка сломалась, и замокъ съ нея свалился, и онъ положилъ его въ карманъ, а потомъ вошелъ въ дворницкую (то была дворницкая) и, бросивъ ломикъ подъ печку, подошелъ къ столу.

Лишь только онъ схватилъ хлѣбъ, какъ въ дворницкую вошелъ дворникъ, городовой и двое мужчинъ. Яшку связали и отправили въ кварталъ.

Черезъ годъ въ окружномъ судѣ назначенъ былъ судъ надъ Яшкой, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, а черезъ нѣсколько времени въ одной петербургской газетѣ была напечатана судебная резолюція, состоявшаяся такого-то числа и мѣсяца въ уголовномъ отдѣленіи окружного суда. Окружной судъ постановилъ: «выслушавъ дѣло о крестьянинѣ Яковѣ Савельевѣ, признанномъ виновнымъ въ покушеніи на кражу со взломомъ во второй разъ, на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей уголов. суд., лишивъ всѣхъ особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, заключить въ рабочій домъ на одинъ годъ и четыре мѣсяца, по освобожденіи же изъ рабочаго дома, согласно такой-то ст. улож. о наказ., отдать подъ особый надзоръ мѣстной полиціи на два года».

Что будетъ съ Яшкой послѣ этого наказанія и куда онъ потомъ попадетъ,—рѣшать считаю излишнимъ.

Отъ Брестъ-Литовска до Петербурга.

(Дорожныя впечатлѣнія).

Нужно мнѣ было ѣхать изъ Брестъ-Литовска въ Петербургъ—дорога не близкая. А изъ Бреста ѣздятъ въ Петербургъ и черезъ Варшаву и черезъ Бѣлостокъ, но люди, привыкшіе къ ѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ, предпочитаютъ ѣхать черезъ Варшаву, такъ какъ въ трехъ верстахъ отъ крѣпости, отъ селенія Тересполь, устроена дорога къ Прагѣ (предмѣстью Варшавы). Хотя же въ «С.-Петерб. Вѣдомостяхъ» подъ рубрикою желѣзныя дороги и значится, что отъ Тересполя до Варшавы 150 верстъ, но ихъ на самомъ дѣлѣ, кажется, 193. За это разстояніе за третій классъ берутъ 2 р. $41^1/_2$ к., да отъ Варшавы до Бѣлостока за 162 версты 2 р. 2 к.,—что составляетъ съ пищей и извозчиками въ Варшавѣ—рублей шесть; тогда какъ изъ Бреста до Бѣлостока считаютъ по шоссе только 120 верстъ; но, отправляясь въ Бѣлостокъ на почтовыхъ лошадяхъ,—нужно помнить то, во-первыхъ, что ѣзда на лошадяхъ въ дрянномъ возкѣ, который на двадцатой верстѣ можетъ развалиться — ѣзда зимой, на открытомъ воздухѣ, при сильномъ вѣтрѣ, почти въ пустынной мѣстности, не то, что ѣзда въ вагонѣ, подъ крышей, и во-вторыхъ, отправляясь на лошадяхъ изъ еврейскаго города, по мѣстности, набитой евреями, и въ еврейскій городъ, вы рискуете, васъ не поймутъ и за всякую малость съ васъ сдерутъ порядочныя деньги,—жаловаться же нехорошо и безполезно. Въ Бѣлостокъ можно пріѣхать такъ, что нужно будетъ дожидаться отхода поѣзда полсутокъ, а такъ какъ въ тамошнемъ вокзалѣ жить негдѣ, то и придется поселиться въ гостиницѣ, въ которой со скуки и израсходуешь больше рубля (тамъ берутъ за номеръ отъ 50 коп. и больше, хотя бы вы и пробыли въ немъ меньше полчаса). Не говоря уже о нашихъ русскихъ, даже брестскіе купцы-евреи отправляются въ Петербургъ за товаромъ и по другимъ дѣламъ черезъ Варшаву.

Вотъ поэтому-то и я, не имѣя шубы и теплыхъ калошъ, рѣшился ѣхать черезъ Варшаву. Получивши въ восьмомъ часу утра паспортъ съ надписью: *къ выѣзду явленъ и въ книгу записанъ*, я нанялъ извозчика-еврея и поѣхалъ съ вещами, которыя заключались въ чемоданѣ, да на боку у меня болтался маленькій саквояжикъ, въ которомъ между прочимъ хламомъ былъ и десятокъ сигаръ.

Крѣпостью ѣхать приходится долго. О ней сказать нечего: крѣпость и больше ничего; своимъ однообразіемъ, военными лицами, евреями-торгашами она наводитъ тоску, и все разнообразіе ея жизни, какъ я слышалъ, заключается въ семейной идилліи,

въ танцахъ, въ клубѣ и карточной игрѣ съ закусками. Лѣтомъ къ этому прибавить можно очень немного, потому-что немногіе могутъ имѣть средства отправиться на маюбку, то-есть гулянье куда-нибудь на берегу рѣки за крѣпость; охотниковъ ловить рыбу мало, да и рыбу ловить не вездѣ дозволено. Сама крѣпость стоитъ на сыромъ мѣстѣ, она имѣетъ множество канавъ, окруженныхъ валами, послѣдніе же окружены болотами, которыя лѣтомъ, во время лагерной стоянки, вредно дѣйствуютъ на солдатъ.

По цѣпному мосту ѣздятъ тихо; видъ съ него ничего привлекательнаго не представляетъ: справа валы, за ними высокій арестантскій домъ, слѣва тополь и потомъ воздвигаемые лѣса, имѣющіе видъ издали не то лѣстницъ, не то строющихся церквей,— тамъ строятъ быки для моста черезъ Бугъ для проводимой отъ Тересполя до Бреста желѣзной дороги. Припомнилось мнѣ, какъ нѣсколько разъ я пускался въ лодкѣ къ этому мѣсту, и меня не пускали солдаты, говоря, что цивильному (штатскому) нельзя безъ билета; припомнилось, какъ лѣтомъ я нѣсколько разъ пускался попробовать одинъ пройти къ Бугу, чтобы искупаться, или пройти въ Тересполь—не пускали тоже, на томъ основаніи, что я цивильный и безъ билета нельзя; но когда я куда-нибудь плавалъ и ходилъ съ военными офицерами—никто ничего не говорилъ. Кое-кто мнѣ посовѣтовалъ пуститься въ путь въ офицерскомъ платьѣ и въ офицерской фуражкѣ, но не иначе, какъ остригши волосы, но мнѣ жалко было для этого стричь волоса.

— Стой!—крикнулъ извозчику солдатъ,—стоящій у караульной.

— Что такое?—спросилъ я.

— Билетъ кажи?.. Не знаешь, что ли, что здѣсь границія.

Изъ караулки вышелъ другой солдатъ.

— Какая граница? вѣдь съ этого столба начинается Царство Польское... какая же тутъ границія?..

— Не разговаривать! Мы изъ-за васъ тутъ только мерзнемъ даромъ.

Извозчикъ вытащилъ изъ-за пазухи гроши... Я подалъ паспортъ. Два солдата стали осматривать паспортъ.

— Тутъ пропуску нѣту.

— А вы смотрите.

— Тутъ книжка нужна.

Солдатъ или придирался, или ему нечего было дѣлать. Я зналъ, что онъ меня не можетъ не пропустить, такъ какъ книжки существуютъ только для евреевъ и для *чухъ* (крестьянъ).

— А если мнѣ не полагается книжки, если я по паспорту имѣю полное право разъѣзжать по всей россійской имперіи?

— Откуда ѣдешь?

Еврей отвѣтилъ за меня. Солдатъ поглядѣлъ еще на паспортъ и замѣтивъ на немъ петербургскія полицейскія марки и клейма варшавской желѣзнодорожной полиціи и отдавая мнѣ его, сказалъ:

— Много же печатей-то!—и улыбнулся.

Еврей крикнулъ: нно! и стегнулъ лошадь.

— Сколько печатей-то! Видно, что все ѣздитъ!— проговорилъ солдатъ другому,—отходя къ своему посту.

Мы поѣхали.

— И всегда такъ?—спросилъ я еврея.

Онъ улыбнулся и стегнулъ лошадь.

— А ты зачѣмъ гроши-то вынималъ?—спросилъ я еврея.

— Ха!..—произнесъ еврей.

Я догадался... Если бы у меня не было ни паспорта, ни билета, мнѣ было бы плохо, а деньги онъ показалъ для своей безопасности.

— А мы такъ ѣздимъ, баринъ: коли лошадь хороша, да солдатъ въ дверяхъ: и уѣдешь... Онъ кричитъ, а извозчикъ ѣдетъ, а сзади другіе ѣдутъ... Только проѣхать!

— А если погонятся?

— Только проѣхать; побоятся гнаться, потому отойти отъ избы не велѣно, а лошадей у нихъ нѣтъ... Ихъ много два-три, а ѣдетъ-то много; всѣмъ надо кричать: стой. Въ крѣпости строже.

— Почему?

— Солдатъ много. Закричитъ: надо или назадъ или впередъ, а назадъ лошадь съ фурманкой не скоро повернешь. А вотъ тамъ еще...

— Что еще тамъ?

— А будто панъ не знаешь? Табакъ, сигары...

— Осматривать будутъ?

— Будутъ.

Я струсилъ; у меня были сигары. И я подумалъ спрятать ихъ за голенище и не спряталъ только потому, что онѣ хранились въ саквояжѣ. Не полѣзетъ же, въ самомъ дѣлѣ, надсмотрщикъ въ саквояжъ; да и неужели ужъ онъ такъ безжалостенъ, что лишитъ меня сигаръ? а въ Тересполѣ сигаръ хорошихъ не достанешь, въ вокзалѣ, пожалуй, хоть и достанешь, только дорого.

— Можетъ-быть, онъ и не будетъ осматривать?

— Нельзя.

— А если бы я взялъ съ собою водку?

— Изъ Бреста можно, а изъ Тересполя нельзя ни водку ни одеколонъ.

Вѣтеръ такъ и рветъ справа и слѣва; меня начинаетъ продувать; еврей-ямщикъ въ рваномъ, ситцевомъ подобіи пальто ежится, поминутно кричитъ на лошадь: нно! но не бьетъ ее.

Зябнется, не хочется говорить, а только думается: «а что, если да онъ сигары отниметъ или еще не удовольствуется ими станетъ раскупоривать чемоданъ, въ который ужъ не уложишь такъ вещи, какъ онѣ теперь уложены»?

Вотъ и шлагбаумъ, около котораго осматриваютъ вещи. На крыльцѣ зданія налѣво стоитъ солдатъ соглядатай. Помню, когда я ѣхалъ въ Брестъ, то чуть не наплакался съ вещами, а везъ я тогда много. Солдаты пристали—раскупоривай да и только чемоданы, сундукъ, кадки; нѣтъ ли въ нихъ одеколону, спирту, а одеколонъ былъ, и я его везъ изъ Петербурга. Ужъ я ихъ упрашивалъ, упрашивалъ, и кое-какъ отдѣлался только тѣмъ, что они мѣшокъ истыкали какою-то желѣзною пробою, развязали и чуть не изрубили двѣ кадки, одну съ масломъ,

другую съ копченой рыбой, а сундукъ оставили въ покоѣ.

Дѣло въ томъ, что тутъ гдѣ шлагбаумъ, уже Царство Польское, въ которомъ винокуреніе производится по старой системѣ, такъ же, какъ и табачное производство; и вотъ поэтому водка въ Брестѣ дороже и хуже, а табачное производство развито сильнѣе; въ Тересполѣ водка дешевле и лучше, а табакъ дороже.

Проѣхали шлагбаумъ, мостъ. Около моста избушка въ видѣ погреба. Изъ нея вышелъ еврей съ сѣдою бородою и сталъ просить деньги за проѣздъ по мосту и по шоссе. У насъ денегъ не было, еврей повѣрилъ извозчику на-слово, что онъ заплатитъ на обратномъ пути.

— А что же съ офицеровъ, берутъ?—спросилъ я извозчика.

— Нѣтъ, мы платимъ—имъ вездѣ свободно. Ихъ рѣдко и останавливаютъ у заставы. Только разъ офицеръ на заставѣ былъ сердитъ на одного изъ крѣпости. Ну какъ-то этотъ крѣпостной поѣхалъ съ другими на маювку. На маювкѣ-то они пили, пили и не могли всего выпить; осталось бутылокъ шесть пива да водки, бросать жалко; говорятъ: возьмемъ, дома выпьемъ, насъ не посмѣютъ останавливать. Ну, а были изрядно выпивши. Ѣдутъ. Стой!!—Поѣзжай!—кричатъ офицеры.

— Нельзя!.. Вышелъ офицеръ заставный. Есть пиво и водка? Отдавайте добромъ; худо будетъ.— Тѣ такъ и сякъ; нѣту у насъ ничего. Заставные солдаты разрыли фурманку и нашли... Попались. Пожалуйте въ домъ. Бились, бились, а двадцать пять рублей заплатили штрафу.— И ихъ тоже допекаютъ—коли ссорятся, а то ничего.

Проѣхали еще мостъ. Началось селеніе съ еврейскими домами, со множествомъ шинковъ и лавокъ, со множествомъ чумазыхъ, въ парикахъ, евреекъ, продающихъ передъ домами еврейскій и польскій хлѣбы, сѣно, лукъ и тому подобныя снадобья для проѣзжающихъ съ товарами крестьянъ. Коегдѣ стоятъ огромныя фуры съ товарами, покрытыми сшитымъ холстомъ. Эти фуры вмѣщаютъ въ себѣ до 200 пудовъ товара, а везутъ ихъ четыре и пять лошадей, или по шести-семи воловъ. Около нихъ лѣниво хлопочутъ чухы въ сѣрыхъ и коричневыхъ зипунахъ съ мѣховыми воротниками, съ кожаной или берестяной сумкой на лѣвомъ боку и въ мѣховой шапкѣ. Я обрадовался тому, что надсмотрщикъ прозѣвалъ меня. Ѣду и улыбаюсь и докуриваю сигару.

Вдругъ точно изъ земли выросъ на дорогѣ надсмотрщикъ въ пальто, съ зеленымъ околышемъ на фуражкѣ съ кокардой. Извозчикъ остановилъ лошадь.

— Прòшу панъ доглядать! Можетъ панъ каже табакъ, сигары.

— У меня нѣтъ сигаръ.

— Невѣрно, панъ, невѣрно. Прòшу. По совѣсти прошу.

— Да говорятъ же вамъ...

— Невѣрно. И онъ тронулъ за чемоданъ.—Не можетъ быть! Ужъ вы везете фунтовъ пять.

— Но съ чего же я повезу, если я ѣду въ Петербургъ и могу тамъ купить.

— Поѣдемъ же къ комисару. Говорю: скажите; комисаръ продержитъ три часа; худо будетъ.

— Вы меня не задерживайте, я опоздаю.

— Поѣздъ отходитъ въ одиннадцать часовъ, а теперь половина десятаго. Такъ какъ: есть сигары?

— У меня есть сигаръ десять.

— Только? Не врешь, панъ? Покажетъ мнѣ панъ или нѣтъ?

Я вытащилъ изъ саквояжа сигары.

— А то можетъ сто штукъ. Десять штукъ можно и табакъ можно, только немного. А вы побожитесь.

Я побожился.

— Ну ладно. Извините, долгъ службы... На васъ будетъ грѣхъ. Поѣзжай.

Мы поѣхали; я сталъ складывать сигары обратно.

Ему скучно,—сказалъ мнѣ извозчикъ.—А ладно, что онъ не сталъ смотрѣть, не повелъ къ комисару — чемоданъ растрясли бы. А вы дайте мнѣ сигару!

Я далъ сигару.

Слава Богу,—думалъ я, теперь все кончено; до Варшавы уже не будутъ спрашивать паспорта; бери билетъ и поѣзжай.

Кончилось селеніе Тересполь; шоссе идетъ дальше; до желѣзной дороги остается еще версты полторы. Здѣсь мѣстность бѣдная и на ней плохо родится рожь; есть двѣ деревни въ сторонѣ отъ шоссе, но онѣ на видъ хуже русскихъ бѣдныхъ деревень.

Тереспольская станція помѣщается въ небольшомъ каменномъ зданіи и имѣетъ тоже претензію походить на всѣ прочія, напримѣръ, варшавско-дорожныя станціи. Въ сравненіе же со всѣми брестскими зданіями оно можетъ назваться дворцомъ въ пустынѣ, оживляющимся два раза въ день. Это зданіе, какъ и все въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, отстроилось очень скоро. Такъ, за мѣсяцъ до открытія желѣзной дороги, для него воздвигался только фундаментъ; при открытіи дороги, когда празднество совершалось въ деревянномъ роскошномъ балаганѣ, околачивали крышу желѣзомъ, а къ Пасхѣ, а можетъ-быть, и раньше, оно уже вмѣщало въ себѣ жителей съ буфетомъ. Несмотря однако на то, что въ немъ двѣ залы для третьяго и второго класса очень малы, въ третьемъ помѣщается еще буфетъ и тутъ же продаютъ билеты и принимаютъ багажъ; посѣтители не жалуются на тѣсноту. Въ третьемъ классѣ хоть и тѣсно бываетъ, но не такъ, какъ на Николаевской желѣзной дорогѣ, такъ что здѣсь можно сосчитать всѣхъ пассажировъ. Кромѣ служителей на станціи существуютъ мальчики, носящіе синія блузы, опоясанныя кожаннымъ ремнемъ съ бляхою, на которой отчеканены буквы W. T. и нумеръ мальчика. Эти мальчики существуютъ для того, чтобы вносить въ вокзалъ и выносить изъ него пассажирскія вещи. Напримѣръ, не успѣлъ я слѣзть съ фурманки, какъ къ ней подскочилъ мальчикъ и схватился за ручку чемодана и поволокъ его. Но такъ какъ, по моему мнѣнію, въ че-

моданѣ было не больше пуда, то я чемодана мальчику не далъ. Я уже поднялся на крыльцо съ чемоданомъ, какъ изъ двери выскочилъ другой мальчикъ, и этотъ было схватился за чемоданъ, но я его отстранилъ и вошелъ въ вокзалъ, гдѣ и положилъ чемоданъ на лавкѣ, но услужливый мальчикъ все-таки оттащилъ чемоданъ къ грудѣ другихъ чемодановъ, значитъ, молъ, я свое дѣло сдѣлалъ.

— Зачѣмъ вы оттащили мой чемоданъ?—спросилъ я мальчика.

— Тутъ нельзя, его будутъ вѣсить, въ багажъ его надо.

— А я его не хочу въ багажъ; я хочу такъ.

— Не пустятъ... Все равно не пустятъ, лучше сдать.

Тутъ я догадался, зачѣмъ тутъ находятся мальчики: и пассажирамъ не приходится кричать, и строителямъ дороги выгодно.

Еще десяти часовъ не было, какъ я пришелъ въ вокзалъ. До отъѣзда оставалось еще почти полтора часа. Часъ я бы могъ употребить на то, чтобы съѣздить на квартиру, но мнѣ бы добрыхъ полласа пришлось возиться на шлагбаумѣ и на границѣ. Поэтому мнѣ пришлось коротать время среди публики. Публики, какъ въ третьемъ, такъ и во второмъ классахъ было еще немного, большинство публики пило чай, пиво, водку и закусывало, нѣкоторые ходили и курили, изрѣдка прикладываясь; сторожа и кондукторы разговаривали кто у дверей, кто у пріемки багажа. Во всѣхъ концахъ только и слышится польская рѣчь. О пассажирахъ второго класса я не говорю; они чинно ходили и сидѣли въ своемъ отдѣленіи.

Полторы сутокъ на Варшавской желѣзной дорогѣ.

Сцены въ вокзалѣ.

Семь часовъ вечера. Передъ кассой третьяго класса, передъ багажнымъ и полицейскимъ отдѣленіями никого нѣтъ, только за послѣднимъ что-то пишутъ чиновники. На полу и на скамьяхъ третьяго класса сидятъ солдаты. Около буфета стоитъ рослый солдатъ, закусывая булкой и колбасой и, показывая монету, онъ говоритъ подручному:

— Посмотри-ка-сь, что это за монета?

— Это злотъ.

— Что ты говоришь! — злотъ!! Всю Варшаву прошелъ до самой крѣпости за мостомъ... Знаю. Нѣтъ вы давайте русскихъ. Эвтихъ мнѣ теперь не надо;—будетъ. Отслужили!

— Нынче русскихъ серебряковъ нигдѣ нѣтъ.

— Какъ хошь, а давай русскую; потому я самъ русскій и ѣду въ Россею, а въ Россеи такихъ денегъ, и баба не пойметъ.

— Дай! неужели нѣтъ?—говоритъ вошедшій буфетчикъ.

Подручный насчитываетъ на 15 к. грошей и коп.

— Да ты грошей-то не клади! давай русскихъ... Въ Россею ѣду, въ отпускъ... Тамъ куда мнѣ съ польскими грошами?

— Дай ему русскихъ...

— То-то!

Получивъ деньги, солдатъ отходитъ и ложится въ свое мѣсто, между солдатами.

Въ вокзалъ входитъ пожилая женщина съ мальчикомъ.

— Куда же это? Въ первый разъ!—говоритъ она оборачиваясь на обѣ стороны.

— Вамъ куда?—спрашиваетъ полиціантъ, стоящій у дверей.

— Въ Вильно.

— Паспортъ?

— Есть...—И женщина достаетъ паспортъ.

— Отдайте въ прописку... Вонъ туда.

Женщина идетъ къ полицейскому отдѣленію и, отдавая паспортъ, спрашиваетъ чиновника:

— Это для чего же?

— Нужно.

Чиновникъ положилъ паспортъ и отвернулся.

Увидя черезъ полчаса женщину, онъ сказалъ:

— Вы не безпокойтесь, сударыня... Часа черезъ два васъ будутъ выкликать.—Получите.

Входятъ двѣ дамы, за ними чухонецъ вноситъ вещи.

— Нѣтъ, не тридцать, а пятьдесятъ,—говоритъ чухонецъ.

— Да, вѣдь, мы тебя за тридцать коп. рядили.

— Нѣтъ, пятьдесятъ.

Чухонцу даютъ деньги, онъ беретъ узелъ и проситъ прибавить двадцать коп.

Одна изъ барынь обращается къ полиціанту:

— Разберите, пожалуйста: мы рядили отъ Тираспольской ж. д. за тридцать...

— За пятьдесятъ,—перебиваетъ чухонецъ.

— Не мое дѣло!—отвѣчаетъ полиціантъ и смотритъ въ двери.

— Къ кому же обратиться? Скажите ради Бога... Что это онъ присталъ!

— Не мое дѣло.

Чухонецъ тащитъ узелъ.

— Не пускай же его!..—вопитъ дама.

— Не мое дѣло!—говоритъ полиціантъ.

— Господи! къ кому обратиться? Гдѣ смотритель?

— Чего?

— Да станціи.

— Тамъ... говоритъ полиціантъ, никуда не указывая.

Барыни отдаютъ деньги чухонцу и уходятъ къ буфету, но ворочаются оттуда къ полицейскому отдѣленію.

— Будьте такъ добры, пропишите насъ...

— Хорошо. Черезъ полчаса будутъ выкликать.

— Да, вѣдь, вамъ теперь свободно.

— Я вамъ сказалъ: васъ будутъ выкликать.

— Вы, въ которомъ классѣ?—говоритъ рѣзко чиновникъ.

— Въ третьемъ... я вдова генерала...

— Позвольте... Чиновникъ засуетился, посмотрѣлъ на паспортъ и сказалъ: извините... порядокъ такой, чтобы въ одно время... Вы извольте тѣмъ временемъ идти въ буфетъ... чаю напиться... вѣдь, вы не отдыхали?

Дамы идутъ прочь.

Мало-по-малу вокзалъ наполняется; снуютъ евреи, но ведутъ себя скромно, съ достоинствомъ. Около полицейскаго отдѣленія давка.

— Не тѣснитесь! всѣмъ будетъ во время... Еще касса заперта!—утѣшаютъ чиновники народъ.

— Смотрю я и дивлюсь: и къ чему эта процедура? Разъ графа, другая, третья... восемь графъ... Въ одной цифру надо поставить, въ другой фамилью прописать... Чудеса!

— Дѣлать, вишь ты, чиновникамъ нечего. За штатъ, говорятъ многихъ порѣшили, а которые подѣльнѣй—сюды.

— Эдакъ, я думаю, одурь возьметъ. Не равенъ случай, не то впишетъ?.. Господинъ... вы ужъ фамилію-то повѣрнѣе вписывайте.

— Не ваше дѣло!—взглянувъ на народъ, сказалъ чиновникъ.

Сквозь толпу проталкивается господинъ въ очкахъ.

— Извольте прописать!—говоритъ онъ и суетъ бумагу.

Берутъ бумагу.

— Дайте билетъ!

— Подождите: черезъ полчаса выкличутъ.

— Что, развѣ у меня кличка какая есть?—обижается господинъ.

— Что такое?—грозно спрашиваетъ чиновникъ.

— Я говорю, что по моему паспорту можетъ кто другой уѣхать.

— То-то, любезный: говори, да не завирайся... Ишь ты, въ очкахъ, а того и не знаетъ, что Аршава-шаршава, что ни шагъ, то и зацѣпа, сказалъ купецъ.

— Это вѣрно: нонѣ телеграфъ: безъ паспорту ни шагу, особливо въ этихъ краяхъ. Вотъ, то ли дѣло отъ Питера до Москвы? Чудно... Пойдемъ-кась, Андрей Силычъ, выпьемъ со скуки чайку, авось, успѣетъ прописать...

— А какъ кто другой уѣдетъ?

— Эво! по обличью видно—купецъ. Айда! Ну ихъ. Купцы ушли.

Открыли кассу. Около окошечка стоитъ жандармъ и полиціантъ.

— Въ Петербургъ билетъ! говоритъ приказчикъ и суетъ деньги.

— Билетъ?.. спрашиваетъ жандармъ.

— Какой? билетъ уже я спряталъ, потому онъ прописанъ.

— Назадъ!

— Я деньги отдалъ! куды назадъ?—горячится приказчикъ.

— Вотъ билетъ! Билетъ возьмите! Два въ Псковъ!.. кричитъ народъ. Давка.

— Уходи! другимъ мѣшаешь. Уходи, братецъ, пока цѣлъ!..—говоритъ полиціантъ приказчику.

Кассиръ возвращаетъ деньги приказчику, который сталъ доставать билетъ, спрятанный въ сакъ-вояжъ. Посмотрѣвши на клеймо, жандармъ чертитъ на билетѣ каракули и возвращаетъ его подавшимъ рукамъ.

— Этотъ не мой! кричитъ еврей. Мой въ салѣ... Коханые! билетъ...

— Господа! чей билетъ?—кричитъ чиновникъ, протягивая руку съ бумагой.

— Мой, панъ, мой!

— Твой ли?

— О, стозе панъ! Али я злодѣй.

Первый звонокъ. Изъ вокзала всѣ хлынули на платформу.

На платформѣ.

Отъ вокзала до вагоновъ третьяго класса далеко. Пассажиры спѣшатъ влѣзть въ вагонъ; давка. Мало-по-малу пассажиры усаживаются. Слабонервныя дамы, выглядывая изъ дверныхъ оконъ вагоновъ и прощаясь съ родными, утираютъ слезы. Провожающіе евреи заказываютъ разныя порученія, крича во все горло.

Одинъ еврей несетъ огромный узелъ; его не пускаютъ.

— Нельзя. Въ узлу больше двухъ пудовъ,—говоритъ кондукторъ.

— О, панъ! всего полпуда.

Кондукторъ едва поднимаетъ узелъ. Еврей стоитъ, упрашивая кондукторовъ.

Второй звонокъ. Вдругъ изъ одного вагона выбѣгаетъ военный и кричитъ:

— Это ни на что не похоже! Дерзость изумительная! Грабежъ.

Военнаго окружаютъ кондукторы.

— Представьте!.. Гдѣ оберъ-кондукторъ?.. Представьте, оберъ-кондукторъ: на мою картонку сѣлъ еврей! Я посмотрѣлъ въ нее—нѣтъ вещей.

Оберъ кондукторъ входитъ въ вагонъ, оттуда слышится крикъ: пассажиры кричатъ, что ихъ военный оскорбилъ, что онъ выпивши, кричитъ.

— Гдѣ смотритель?—кричитъ вдругъ выскочившій военный.

— Что вамъ угодно? извольте садиться, скоро третій звонокъ.

И смотритель входитъ съ военнымъ въ вагонъ. Оттуда черезъ минуту выбрасываютъ картонку, требуютъ жандарма, начальство.

— Бей звонокъ!

Третій звонокъ. Кондукторъ подходитъ къ еврею, беретъ изъ его горсти что-то и, втолкнувъ его въ вагонъ, запираетъ двери.

Изъ вокзала третьяго класса выбѣгаетъ дама съ ребенкомъ и за ней мужчина съ двумя узлами.

— Скорѣе! Иди, ради Бога, скорѣе. Третій звонокъ,—кричитъ мужчина.

— Нельзя же мнѣ бѣжать съ ребенкомъ.

Поѣздъ тронулся.

— Скорѣе!

— Опоздали!—говорятъ кондукторы.

Изъ вагоновъ смѣхъ.

Поѣздъ идетъ скорѣе.

— Ну, не говорилъ я тебѣ...

— Пустите!!—вопитъ дама и кажетъ билетъ.

Поѣздъ ушелъ.

Въ вагонѣ третьяго класса.

Первая ночь.

Вагонъ состоитъ изъ пяти отдѣленій; изъ каждаго отдѣленія двѣ двери направо и налѣво; надъ каждыми дверьми окна. Въ одномъ угловомъ отдѣленіи нѣмецъ устраиваетъ себѣ постель; разобравши походную кровать, онъ кладетъ ее поперекъ одной двери, на противоположныя скамейки. Въ этомъ отдѣленіи сидятъ шесть евреевъ.

— Какъ же, панъ, вы два мѣста заняли?

— Я два билета имѣю и знаю, что я дѣлаю, и сейчасъ лягу спать. Я прямо изъ Франціи въ Москву ѣду,—отвѣчалъ нѣмецъ.

— А выходить мы какъ будемъ?

— Кто ночью выходитъ? Ночью спятъ. Днемъ уберу.

Въ отдѣленіи, рядомъ съ этимъ, дама укладываетъ на скамейку, противъ себя ребенка. Въ этомъ этомъ отдѣленіи восемь пассажировъ.

— Панни! и такъ тѣсно, а вы ребенка укладываете.

— Если дозволено кроватями располагаться, то, я думаю, можно изъ жалости ребенку уступить мѣсто.

— Можно бы и не брать ребенка вовсе!—говоритъ офицеръ изъ третьяго отдѣленія.

— Онъ вамъ не мѣшаетъ: вы не съ нами сидите,—обидѣлась дама.

— Нѣтъ, мѣшаетъ. Цѣлый часъ уже пищитъ.

— Если бы можно было унять его...

— Поэтому дѣтей, такихъ маленькихъ, не нужно брать; потому, что за удовольствіе слушать пискъ? Вѣдь, вы за него ничего не заплатили?

Однако дама укладываетъ ребенка.

Пассажиры разговариваютъ; изъ всеобщихъ разговоровъ трудно что-либо составить. Въ четвертомъ отдѣленіи, приткнувшись въ уголъ, толстый мужчина въ драповомъ пальто и бѣлой круглой шляпѣ говоритъ:

— Представьте! Иду я въ вагонъ; меня кондукторъ не пускаетъ: говоритъ, здѣсь занято.

Я вижу, много свободнаго мѣста; говорю: пустите! «Идите дальше», говоритъ! Дѣлать нечего, снялъ я пальто и, какъ увидалъ онъ военную форму—съежился и говоритъ: пожалуйте. Ну, не свинство ли это?

— Это такъ! военныхъ они боятся, а цивильными... пренебрегаютъ, — отозвался сосѣдъ офицеръ.

— А вы по какой части?—спросилъ штатскій чиновникъ съ краснымъ околышемъ на фуражкѣ.

— По ученой. Я съ ученою цѣлью часто ѣзжу за границу... Такъ что въ Петербургѣ не успѣешь оглянуться—опять порученія. Мнѣ Парижъ, Вѣна, Голландія извѣстны лучше, чѣмъ Петербургъ.

— Скажите!

— Да! такъ мнѣ эти поѣздки надоѣли! Теперь я ѣду напролетъ изъ Франціи...

— И вы все въ третьемъ классѣ?

— Н-нѣтъ! Я раньше ѣхалъ въ первомъ и второмъ, но тамъ все аристократы—надоѣло. То ли дѣло въ третьемъ—и покурить, и развалиться можно.

— Господа, будьте такъ добры, заприте окно! Вѣтеръ дуетъ,—говоритъ одна дама.

— Да, вѣдь, у васъ заперто.

— Заперто, но оттуда прямо на меня дуетъ. Прошу васъ!

— А мы, сударыня, собрались сюда, въ это отдѣленіе, все такіе люди, которые любятъ, чтобы ихъ освѣжало.

— Нельзя же имѣть всѣмъ удобства,—сказалъ одинъ чиновникъ.

— Позвольте вамъ замѣтить: мы всѣ одинаковыя деньги платимъ, и деньги большія.

— Но есть и различіе между мной и вами.

— Господа! чѣмъ вамъ спорить, заперли бы окно-то: очень дуетъ! Теперь ночь. Сказала другая дама.

Заголосили дамы. Окна заперли.

Мало-по-малу въ вагонѣ говоры затихаютъ; пассажиры, имѣющіе около себя немного свободнаго мѣста, стараются лечь: закладываютъ ноги на скамейки, ежатся, толкаютъ сосѣдей, которые, въ свою очередь, тоже не остаются въ долгу.

— Позвольте мнѣ прилечь...—говоритъ господинъ молодой дамѣ, сидящей въ углу.

— Извольте; развѣ я мѣшаю?

— Но... вы не поняли. Позвольте къ вамъ, на ваши прелестныя колѣни...

Дама хохочетъ и говоритъ: ахъ вы, шутникъ!

— Нѣтъ въ самомъ дѣлѣ! Или—вы прилягте.

— Полноте пустяки говорить,—сердится дама.

— Нѣтъ, я говорю серьезно. И мужчина засовываетъ руку между перегородкой и спиной дамы.

— Отстаньте! какъ вамъ не стыдно!

— Ну, ужъ и кричать! Съ вами и пошутить нельзя.

Нѣсколько минутъ мужчина и дама молчатъ.

Поѣздъ остановился на десять минутъ. Трое пассажировъ уходятъ совсѣмъ изъ второго отдѣленія. Евреямъ хочется итти вонъ, но ходъ на платформу загороженъ кроватью, на которой сладко спитъ нѣмецъ.

Евреи отпираютъ окно и просятъ ихъ выпустить.

Кондукторъ отпираетъ дверь.

— Перешагните черезъ перегородку!—говоритъ кондукторъ и запираетъ дверь.

Евреи начинаютъ перешагивать.

— Куда лѣзешь! Не видишь развѣ, что ты мнѣ на платье ступилъ грязными лапищами!

Поглядите! Что онъ мнѣ надѣлалъ! дама кажетъ платье, замаранное грязью.

— Это ни на что не похоже! Спитъ точно мощи! Надо жаловаться! Изъ-за него намъ всѣ платья выпачкаютъ такъ, что они никуда не будутъ годиться.

Поѣздъ идетъ. Говорятъ немногіе. Въ четвертомъ отдѣленіи раздается носовой свистъ.

— Счастливые люди!—говоритъ дама, сидящая рядомъ съ надоѣдливымъ господиномъ.

— А вамъ завидно!

— Пожалуйста... Я съ вами вовсе и не думала говорить.

— Однако говорите... Я буду молчать,—и господинъ отворачивается.

Дама хохочетъ.

Входитъ кондукторъ, спрашиваетъ билеты и уходитъ. Пассажиры спятъ, но при остановкахъ на станціяхъ просыпаются.

День.

— Какъ нонче холодно! говоритъ утромъ господинъ въ очкахъ, входя въ вагонъ и закусывая бутербродомъ.

— Я за границей ѣхалъ—совершенно тепло, а здѣсь чортъ знаетъ, что такое. Хорошо, что я штатское пальто имѣю для дороги. Только здѣсь днемъ приходится скидывать его—неловко. И военный господинъ, снявъ съ себя пальто, остается въ военной одеждѣ.

— Какъ все ужасно дорого! Спросила стаканъ кофею—тридцать коп. Пожалуйте!—говоритъ пожилая дама молодой, подавая стаканчикъ съ портвейномъ.

— И, полноте... Еще захмѣлѣешь.

— Безъ церемоніи! дѣло дорожное.

Идутъ взаимныя угощенія во всѣхъ отдѣленіяхъ,

— Фи! какъ чеснокомъ запахло! — говоритъ дама и смотритъ на евреевъ, которые ѣдятъ селедку, чеснокъ съ булкой.

— Надо попросить, чтобы ихъ пересадили.

— Нѣмцу-то поди непріятно... Ахъ, гдѣ же его кровать?

— Сложилъ подъ скамейкой.

Нѣмецъ сидитъ въ углу и читаетъ какую-то книгу.

— Вы въ гости, али по дѣламъ?

— На счетъ школы ѣду хлопотать. Нынче, я слышала, даютъ вспомоществованія для открытія школъ 750 р. с.

— Дѣло хорошее.

— Только позвольте вамъ замѣтить: это дѣло не женское. Замѣтилъ военный господинъ.

— Почему?

— Потому-что это одна мода. Толковать-то мы о хорошемъ много толкуемъ, а какъ дѣло насъ коснется, мы и ни бельмеса. Оно хорошо взять деньги, чтобы или заплатить долги, или нашить себѣ платьевъ...

— Позвольте: вы къ чему это говорите?

— Какой ужасный господинъ!

— Ничего нѣтъ ужаснаго, а говорю я это просто потому, что если бы вы ѣхали въ первомъ или второмъ классѣ,—не то бы запѣли.

— Вы позвольте васъ спросить, за кого насъ считаете?—обидѣлась дама.

— Я васъ считаю за очень образованную даму и говорю только къ тому, что вы не за свое дѣло беретесь. Чему и кого вы обучать будете?

— Вотъ мило!

— Нѣтъ, я васъ спрашиваю...

— Уйдите! Вы разсуждаете, какъ допотопный человѣкъ.

Разговоръ въ этомъ родѣ шелъ въ двухъ отдѣленіяхъ до Вильны.

— У васъ дѣти есть? Извините за нескромный вопросъ?—спрашиваетъ мужчина даму.

— Ничего. Есть. Одинъ въ гимназіи уже.

— И думаете въ университетъ.

— Это ужъ его дѣло заботиться.

— Нѣтъ не его, а родителей. Напримѣръ, меня послали въ университетъ, я кончилъ тамъ курсъ блистательнымъ образомъ въ то время, когда батюшка изволилъ отправиться на тотъ свѣтъ я шатался безъ мѣста три мѣсяца. Думаю—что мнѣ шляться; а признаюсь вамъ, такія мѣста, какъ совѣтникъ, асессоръ, я не люблю и теперь; слѣдователей не было, взялъ да и поступилъ въ инженерный корпусъ. И теперь я инженеръ-капитанъ, имѣю хорошее содержаніе.

— Да отъ построекъ много можно пріобрѣсти,— замѣтилъ докторъ.

— Ну это дѣло не совсѣмъ честное. Теперь я перевелся на желѣзную дорогу. Вотъ тамъ можно на худой конецъ тысячъ пять сколотить въ годъ. И поэтому я никому не совѣтую отдавать дѣтей въ гражданскія училища.

— У васъ странный взглядъ!

— Нѣтъ не странный. Вы возьмите, напримѣръ, выправку, обращеніе... Человѣкъ выходитъ молодцомъ.

— Но съ пустой головой.

— Укажите мнѣ примѣръ.

— А много ли у насъ инженеровъ, механиковъ?

— Нѣмцы не даютъ ходу. Я вамъ могу указать примѣры, какъ нѣмцы...

— Сами мы виноваты, потому-что заботимся больше объ лоскѣ и т. д.

Пріѣхали въ Вильно. Пассажировъ не выпускаютъ до тѣхъ поръ, пока не осмотрятъ паспорта.

— Это просто мученье. Я свой билетъ ужъ спрятала; думала, до самой отдачи дворнику въ Петербургѣ будетъ лежать. И такъ весь исчеркали— говоритъ старушка, вылѣзая съ узлами.

— Это еще что! Мой такъ чернилами облили въ одномъ мѣстѣ, а въ другомъ говорятъ: зачѣмъ у васъ билетъ замаранъ? И если бы я не былъ офицеръ—придрались бы, пожалуй.

— Черезъ часъ поѣздъ тронулся, но многіе пассажиры перетасовались, т.-е. разсѣлись по другимъ вагонамъ, потому-что отъ Вильно идутъ другіе вагоны съ такими же точно отдѣленіями.

Дама, съ ребенкомъ, сидитъ въ среднемъ отдѣленіи, напротивъ нея, старушка-полковница, рядомъ съ ними молодой господинъ съ домой; толстая высокая полька, которая то-и-дѣло закрываетъ ротъ отъ табачнаго дыма. Толстый военный въ отдѣленіи налѣво; въ отдѣленіи направо сидятъ только двое: штатскій и военный. Всѣ навеселѣ; говоръ во всѣхъ отдѣленіяхъ. На холмистую мѣстность рѣдко кто смотритъ. Евреевъ нѣтъ, потому-что приближается шабашъ.

— Такъ вы говорите, въ госпиталѣ состоите?— спрашиваетъ штатскій военнаго.

— Бухгалтеромъ.

— А! Доходное мѣсто?

— Ну, не совсѣмъ. Евреи нынѣ очень мало даютъ. Къ тому же тѣснятъ очень.

— Отчего же?

— Да вотъ, напримѣръ, написали про меня, что я полякъ. Ну и велѣли мнѣ выходить въ отставку. А надо вамъ замѣтить на мнѣ весь госпиталь держится.

— А!!

— Да... Всѣмъ нужно угодить и свести концы съ концами, такъ чтобы приходъ съ расходомъ былъ вѣренъ...

— Что жъ вы теперь?

— Да принялъ православіе—оставили.

— Дѣло хорошее.

...Такъ вы говорите, ни за что не женитесь?— спрашиваетъ дама пожилого кавалера, визави.

— Нѣтъ, зачѣмъ не жениться! Если мнѣ невѣста принесетъ большое имѣніе—такъ.

— А вы не здѣшній уроженецъ?

— Я изъ внутреннихъ губерній. Сначала было съ непривычки не очень хорошо, а теперь живу отлично. Нужно аккуратно жить. Я, вотъ, напримѣръ, въ карты не играю, а это много значитъ.

— Это такъ. Я вамъ скажу, у насъ было два посредника. Ну, получали около трехъ тысячъ содержанія, и что же бы вы думали? Оставили послѣ себя кредиторовъ съ носомъ: на каждомъ около пяти тысячъ долговъ оказалось. И все пиры, шампанское да банкеты.

— Не курите, господа!—проситъ полька.

Отворяютъ окно.

— Заприте окно—вѣтеръ дуетъ.

Запираютъ окно. Станція. Половина выходятъ и приходятъ закусывая. Польку тошнитъ.

— Ты опять приложился!—говоритъ дама мужчинѣ.

— Нельзя,—дѣло дорожное.

— Ужь никакъ въ десятый разъ. Въ Петербургъ пріѣдемъ—гдѣ возьмемъ денегъ?

— Не хлопочи.

— Пьяница!

— Не твое дѣло.

— Господа! Куда это деньги дѣвались?—кричитъ одинъ пассажиръ, изъ крайняго отдѣленія, сосѣду.

— Странный вопросъ! Извѣстно, за границей.

— Полноте, пожалуйста. Я за границей—свой человѣкъ: и тамъ съ трудомъ достанешь русскую ассигнацію, не говоря о золотѣ и серебрѣ.

— Разговоръ не въ ассигнаціи, а въ монетѣ. Отчего, напримѣръ, здѣсь, въ этомъ краю, нѣтъ русскаго серебра?

— Понятное дѣло: оно все въ рукахъ жидовъ. Жалко, что давеча мы не прижали жидовъ. Они бы сознались.

— Всѣ говорятъ, что денегъ нѣтъ! Но странное дѣло, господа: вѣдь печатаютъ же, что столько-то добыто серебра, золота? Знаемъ же мы, сколько находится въ обращеніи денегъ?

— Ничего мы не знаемъ. Обманываютъ...

— Дѣло въ томъ, что мы, господа, сами эксплоатировать не умѣемъ.

— То-есть, плутовать, вы хотите сказать?

— Ну, хоть и это...

— Я вамъ могу сказать,—деньги есть, но онѣ у эксплоататоровъ, или плутовъ-купцовъ, жидовъ, ростовщиковъ и журналистовъ-издателей.

— Ну, едва ли послѣднихъ-то вы привели кстати.

— Позвольте! сколько у насъ издается этой дряни—никакъ около пятидесяти названій? Теперь разочтите, сколько каждое изданіе стоитъ.... А на чей это счетъ все издается.

— Нельзя же намъ сидѣть безъ литературы...

Изъ Динабурга пассажиры выѣхали еще веселѣе прежняго. И разсѣлись по отдѣленіямъ такъ, чтобы было удобнѣе спать.

Вторая ночь.

Спятъ всѣ: кто лежа, кто полулежа, кто сидя. Входитъ кондукторъ, порядочно выпившій.

— Билетъ!—кричитъ онъ.

Всѣ спятъ.

— Билетъ!—И онъ толкаетъ даму, та поднимаетъ голову съ крикомъ: «ахъ! невѣжа».

Подходитъ кондукторъ къ спящему офицеру и кричитъ: «билетъ»!—Тотъ спитъ.

— Билетъ! тебѣ говорятъ!—И онъ толкаетъ офицера.

— Что ты толкаешься? Развѣ не можешь повѣжливѣе обращаться?

— Билетъ!

— Подожди, братецъ! Что ты присталь ко мнѣ?

— Выведу!!

— Что такое?

— Билетъ!

— Что ты кричишь. Нельзя ли потише!—кричатъ другіе пассажиры.

— Потише! Есть васъ тутъ... Всякій солдатъ и тотъ баринъ. Эка фря—всякая сволочь и та важничаетъ!

— Ка-акъ? Я кто, по-твоему?

— Солдатъ и сволочь.

— Господа! онъ меня оскорбилъ! Онъ мнѣ грубости наговорилъ.

— Ничего я не говорилъ... Билетъ, господа, иначе выведу вонъ.

— Какъ? ты выведешь, скотина ты эдакая! мерзавецъ!

— Что вы ругаетесь! Я васъ выведу... Пожалуйте вонъ!

— Попробуй.

Кондукторъ ушелъ.

Половина вагона заговорила; обвиняли кондуктора въ грубости и рѣшили жаловаться на него смотрителю станціи; остальные пассажиры, проснувшись отъ толчковъ кондуктора и криковъ, слушали, въ чемъ дѣло. Весь вагонъ заговорилъ.

Станція.

— Позвать сюда смотрителя?.. Господинъ смотритель! кондукторъ обозвалъ насъ неприличными словами, наговорилъ грубостей! Онъ пьянъ!—кричатъ изъ вагона.

— Не мое дѣло! слышится голосъ съ платформы.

— Какъ не ваше дѣло? Примите жалобу. Скажите намъ фамилію этого скота.

— Бей звонокъ!—слышится голосъ. Бьютъ звонокъ.

Поѣздъ пошелъ. Обиженные пассажиры бѣснуются. На слѣдующей станціи смотритель сказалъ, что онъ не знаетъ фамиліи кондуктора. На третьей была записана жалоба пассажировъ. На каждой станціи въ этотъ вагонъ сажали пассажировъ.

— Да сюда некуда! Господа, что же это!!—вопятъ дамы.

— Это кондукторъ нарочно сажаетъ! Со злости.

Въ вагонѣ тѣсно; такъ что одна крестьянка стоитъ. Она то за ноги дернетъ кого-нибудь, то руку пощупаетъ, но ея не пускаютъ.

Вдругъ она дернула одну даму за ноги и сѣла.

— Ты что дѣлаешь?—кричитъ дама.

— А то, что мѣсто надо. Я деньги заплатила.

Входитъ на станціи лакей съ узлами и кладетъ узелъ на спящаго ребенка.

— Куда ты ставишь! Не видишь, тутъ ребенокъ.

— Наплевать!

— Да здѣсь тѣсно.

— Двинься! деньги заплочены... Всякая горничная и та барыня.

— Господа! онъ меня обзываетъ горничной, а я акушерка... Я при военномъ госпиталѣ служу.

— Есть васъ тутъ всякой дряни! И лакей садится.

— Господа! Здѣсь благородныхъ дамъ обижаютъ.

— Я сама дочь статскаго совѣтника.

— Я вдова генералъ-маіора! — кричатъ съ двухъ сторонъ.

— А разѣ благородные люди ѣздятъ въ третьемъ классѣ. По одному обличью и по наряду видно, кто откуда,—говоритъ лакей, закуривая папироску.

Дамы кричатъ; одна плачетъ. Входитъ жандарскій офицеръ и отбираетъ показанія свидѣтелей.

— Господа! объясните, какъ было дѣло... Онъ человѣкъ бѣдный. Можетъ лишиться чина,—говоритъ офицеръ.

— Мы слышали крикъ; кажется, кондукторъ обидѣлъ кого-то... говоритъ кто-то.

Офицеръ уходитъ.

— Свиньи! Раньше горячились, а теперь молчатъ,—горячился кто-то.

На станціи входитъ господинъ съ большой собакой.

— Куда же вы съ собакой, здѣсь дѣти есть,—говоритъ бухгалтеръ.

— Ничего; она не кусается.

— А вы заплатили за нее?—спрашиваетъ докторъ.

— Кондуктору далъ.

— А это у васъ штуцеръ?—спрашиваетъ докторъ.

— Штуцеръ.—Снимаетъ штуцеръ и показываетъ.

— Отличная работа! Сколько стоитъ?

— Двѣсти руб. смотрите осторожнѣе, онъ заряженъ.

На станціи входитъ торгашъ и садится противъ доктора.

— Ну ужъ и народу—сѣсть некуда!—говоритъ торгашъ.

— Ты псковской?

— Точно такъ. Ситцами торгую.

— А какъ великъ оборотъ?

— Да тысячи три... Теперь вотъ орѣшковъ фунтовъ пятнадцать, да грибовъ везу въ подарокъ роднѣ.

— Продай.

— Ни за что! Кабы нужда, а то...

— Господа! что же это къ вамъ не садятъ? Васъ сидитъ всего трое, а вы прилѣпили на стекло бумажку, что всѣ мѣста заняты...

Развѣ это хорошо?—говоритъ одинъ пассажиръ пассажирамъ, обиженнымъ кондукторомъ.

— Насъ обидѣли! За это мы пользуемся привилегіей.

— Мали ли что... Чѣмъ дѣло-то кончилось?

— За Псковомъ заставили кондуктора извиниться. Простили. Поэтому теперь, до Петербурга, въ наше отдѣленіе никого не пустятъ.

Утро.

— Вы куда?—спрашиваетъ дама кавалера.

— Я? въ гостиницу Наполеонъ... Пойдемте?

— Что вы!!

— Отдѣльная комната... Расходы пополамъ.

— Нельзя ли на Вознесенскомъ.

— Въ домѣ Китнера... Извольте. Двѣ комнаты... Идетъ.

Дама соглашается и хохочетъ.

Подъѣзжая къ Петербургу, пассажиры становятся сосредоточеннѣе. Нѣкоторые въ Лугѣ и въ Гатчинѣ умываются, а между Царскимъ Селомъ и Петербургомъ связываютъ узелки, выбрасываютъ кости, корки, бутылки и выдвигаютъ изъ-подъ скамеекъ тяжелыя вещи.

Сутки въ еврейскомъ городѣ.

Нужно мнѣ было проводить одну даму, съ годовалымъ ребенкомъ, до одного значительнаго, но не губернскаго города сѣверо-западной Россіи.

Время было зимнее. О поѣздкѣ нашей по желѣзной дорогѣ говорить рѣшительно нечего. На желѣзной дорогѣ мы были точно дома; но вотъ, какъ ѣхать съ ребенкомъ полтораста верстъ; гдѣ достать саней? Есть ли еще въ Б. порядочная комната съ форточкой въ окнѣ? Есть ли извозчики у вокзала?

Пріѣхали къ Б. Въ вокзалъ то-и-дѣло забѣгаютъ евреи въ еврейскихъ кафтанахъ и, какъ питерскіе извозчики, тянутъ на улицу пассажировъ. Но пассажировъ, впрочемъ, было немного, да и блюститель порядка гналъ ихъ прочь, несмотря на ихъ гримасы. Немного погодя я вышелъ на крыльцо. Два еврея тотчасъ подскочили ко мнѣ.

— Садитесь! садитесь! У меня лошади... У меня двѣ!..—закричали они мнѣ, и каждый вцѣпился въ меня.

— Да куда ѣхать? Есть гостиница?—спросилъ я.

Оба еврея усмѣхнулись и начали оба нахваливать гостиницы.

— Европейская самая первая.

— Европейская Россія лучше. Вретъ онъ.

— Самъ врешь, челятникъ!

Оба еврея плюнули другъ на друга. Стоявшій около двери блюститель порядка улыбался.

— Такъ которая же лучше?—спросилъ я евреевъ.

— Моя! моя! заголосили они, и каждый предложилъ цѣну за нумеръ тридцать коп. да за провозъ до гостиницы пятнадцать коп.

Не зная, на что рѣшиться, я спросилъ наблюдавшаго за порядкомъ военнаго человѣка:

— Скажите, пожалуйста, которая гостиница лучше?

Онъ нѣсколько секундъ помолчалъ и сказалъ:

— Европейская лучше.

— Такъ везите меня въ Европейскую,—сказалъ я еврею.

Еврей изъ другой гостиницы сталъ неистово ругать военнаго человѣка.

— Пгохвостъ! ты взятки съ нихъ, подгецовъ, бегешь... Я на тебя жаговаться буду! Кацапъ!

Военный человѣкъ махнулъ рукой и ушелъ въ вокзалъ. Еврей за нимъ, но тотъ что-то ему сказалъ, и сѣвшій на мель еврей накинулся на своего противника. Долго два еврея ругались; долго они корили другъ друга, высказывая всѣ бывалыя и небывалыя ихъ плутни. Они подходили въ это время на пѣтуховъ; но до драки дѣло не дошло.

Мы поѣхали. Нашъ хозяинъ (какъ я предполагалъ въ это время) былъ очень веселъ и часто оглядывался назадъ. На лицѣ сіяла улыбка, глаза, то ли отъ удовольствія, то ли отъ торжества, сжимались, и онъ кричалъ: вай! вай! и заливался хохотомъ. Другой еврей неистово ругался, но отъ своихъ лошадей не шелъ, а оглядывался на всѣ стороны, кого-то выглядывая.

У него развѣ нехорошая гостиница?—спросилъ я своего хозяина.

— Уй!.. собакъ только держать. Мошенникъ.

— А у васъ хорошая?

— У меня всѣ нумера заняты! Одинъ только, самый первый не занятъ.

— Почему же самый первый, а не послѣдній.

Еврей улыбнулся и, нисколько не думая, отвѣчалъ:

— Какъ зе мозно? Для господъ самый первый впередъ... А такъ не мозно.

Изъ этихъ словъ я ничего не понялъ, просилъ разъяснить, но онъ ничего не отвѣчалъ, потому что кричалъ на евреевъ, везущихъ отъ машины и къ машинѣ товаръ. Евреи, впрочемъ, на его крики нисколько не обращали вниманія, потому-что дорога была широкая.

Сколько я ни старался заговорить съ моимъ хозяиномъ, онъ упорно молчалъ. Отъ него только я узналъ, что въ городѣ много разныхъ фабрикъ, что эти евреи, возчики, страшные мошенники и находятся въ работахъ наравнѣ съ поляками у Б. купцовъ.

Наконецъ, онъ ввезъ насъ въ обширный дворъ трехъ-этажнаго каменнаго дома. Началась суетня, засѣменило около насъ нѣсколько евреевъ съ предложеніями нести вещи; я хотя и не давалъ нести подушку и сундучекъ, потому-что они были очень легки, но не успѣлъ я опомниться отъ крика, какъ и сундучекъ, и подушка уже изчезли изъ саней, а мальчикъ, въ протертомъ сюртучкѣ, предлагалъ намъ итти за нимъ.

Мы вошли на крыльцо, потомъ на небольшую площадку, въ которой напротивъ на дверяхъ прибиты желѣзныя дощечки съ надписями, на одной половинкѣ буфетъ, на другой бильярдъ, налѣво шла лѣстница къ верху. Взошли мы во второй этажъ—длинный коридоръ, освѣщаемый однимъ окномъ съ полутора десятками дверей. Кромѣ насъ въ коридорѣ никого не было; не было ни подушки, ни сундучка. Дама струсила, а я спустился на площадку и столкнулся съ мальчикомъ, выходящимъ изъ буфета.

— Что же нумеръ? гдѣ жъ подушка и сундучекъ?—спросилъ я его.

— Сейчасъ! и онъ ушелъ въ буфетъ.

Я за нимъ! Вещи лежали въ буфетѣ. Какой-то пожилой господинъ, съ растрепавшимися волосами, съ ермолкой на головѣ, до невѣроятности засаленной, плотный собой, въ ситцевой рубашкѣ, жилеткѣ и брюкахъ, сидѣлъ за конторкой и что-то писалъ. Въ этомъ буфетѣ съ прилавкомъ замѣтно отсутствіе посуды и бутылокъ, только на прилавкѣ на подносѣ стоитъ нѣсколько рюмокъ. При входѣ моемъ пожилой господинъ взглянулъ на меня, засунулъ перо за лѣвое ухо, отошелъ отъ конторки и, засунувъ руки между брюкъ и рубашки, спросилъ меня ломаннымъ еврейско-нѣмецко-русскимъ языкомъ:

— Что?

— Да вашъ хозяинъ пригласилъ меня сюда...

Я—хозяинъ... Никого здѣсь нѣтъ другого... Я!! сичасъ... проговорилъ онъ съ достоинствомъ, горячо и скоро, колотя рукою грудь, и, вдругъ выскочивъ изъ-за прилавка, подошелъ къ двери направо, поднялъ голову, закричавъ неистово:

— Эй вы!! челятники?! номеръ!! Живо... и потомъ, обращаясь ко мнѣ, проговорилъ скоро: заразъ панъ, заразъ! Первый номеръ... Сичасъ... Эй! Мерзавцы?!. номеръ!.. и онъ убѣжалъ въ комнату. Комната большая, со сводами. Посреди ея стоялъ длинный, узкій и невысокій столъ, покрытый бѣлою скатертью, на немъ стояло блюдо съ подобіями оладьевъ.

Хозяинъ (пожилой господинъ дѣйствительно былъ хозяинъ, а принявшій меня съ вокзала еврей оказался не факторомъ, а простымъ челятникомъ, т.-е. рабочимъ, слугой хозяина) неистово ругался гдѣ-то далеко, и голосъ его непріятно разносился по всему нижнему этажу. Наконецъ, вышелъ мальчикъ, за нимъ хозяинъ, и оба они что-то говорили по-польски. Я только понялъ «якъ же пане, номиръ осьмый». Хозяинъ сказалъ мнѣ, что лакей проведетъ меня до отличнаго номера, и я, взявъ сундучекъ и подушку, вышелъ за мальчикомъ-полякомъ.

Мальчикъ отворилъ дверь въ крайнемъ отъ окна номерѣ. Это была хотя и большая и высокая комната, но довольно грязная. Стѣны обоями не оклеены; въ ней холодно, сыро; форточки въ окнѣ нѣтъ; по полу скачутъ блохи; диванъ съ ободраннымъ ситцемъ, кровать деревянная съ провалившимися досками, ничѣмъ не покрытая. У окна стоялъ простого дерева неокрашенный столъ и два простыхъ стула. Комода не было.

— Отчего же на кровати ничего нѣтъ? Какая мерзость!.. И за такой грязный номеръ брать тридцать копеекъ,—говорила дама.

Мальчикъ стоялъ смиренно; онъ то глядѣлъ на насъ, то прислушивался къ дверямъ.

— Отчего нѣтъ тюфяка?—спросилъ я мальчика.

— Если пану нужна постель, можно... Полтора рубля.

— За одну ночь?

— Да.

— Какъ-нибудь и такъ проведемъ ночь.

Съ дороги хотѣлось спать, и мы прилегли. Не прошло и десяти минутъ, какъ въ комнату вошелъ еврей въ ободранномъ кафтанѣ. По физіономіи его замѣтно было, что онъ какъ будто выпивши.

— Развѣ дверь не заперта?—спросила меня дама.

Я посмотрѣлъ—ключа нѣтъ; а раньше, кажется, былъ.

— Что скажете?—спросилъ я еврея.

— Явите... шабашъ.

— Идите прочь! какое вы имѣете право шляться по нумерамъ?—крикнула на еврея дама.

Еврей сдѣлалъ плаксивую гримасу, придвинулся ближе и поклонился низко. Это разсмѣшило даму.

— Заприте двери — ребенокъ спитъ. Да не кричите!

Еврей еще ниже поклонился и спросилъ:

— Вы изъ Питебухъ?.. Я самъ изъ Питебухъ...

— Что жъ изъ этого?—сказала дама, недовольная посѣщеніемъ еврея.

— Охъ, Мовша Бомка! и еврей со стономъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь.

— Я прошу васъ, ради ребенка, не кричите.

Еврей попятился, наклонилъ голову на лѣвый бокъ и слезно глядѣлъ на даму.

— Что же, васъ обидѣлъ чѣмъ Бомка?—спросилъ я еврея.

— Вай! вай! раззорилъ.

— Присядьте, разскажите, а мы послушаемъ.

Еврей не двигался съ мѣста, а только лукаво озирался кругомъ.

— У Мовши Бомки два дома... два дома, баринъ... А Янкель Бруманнъ нищій. Ха-а! Мовша Бомка въ Питебухъ со мной ходилъ... Ушелъ и сталъ жить особливо. Еврей немного помолчалъ, потомъ поскобливши пальцами подъ ермолкой, продолжалъ. Такъ-какъ онъ говорилъ ломанымъ языкомъ и такъ-какъ я не въ состояніи передать подлинную его рѣчь, то и передаю ея содержаніе по-русски. Дѣло было въ томъ, что Янкель Бруманнъ хотѣлъ жениться на дочери Бомки, которую онъ считалъ за первую красавицу во всемъ городѣ, съ которой вмѣстѣ росъ и которую любилъ больше всего на свѣтѣ. Семейство Бомки было большое, и отецъ съ сыновьями занимались извозомъ. Б—скихъ евреевъ тогда много ушло въ Петербургъ и, кто туда ни уходилъ, никогда не возвращался домой съ пустымъ карманомъ, а дѣлался купцомъ, фабрикантомъ, содержателемъ постоялаго двора, бралъ подряды или занимался торговлей и все-таки его тянуло въ Петербургъ, такъ что въ Петербургѣ онъ былъ простой еврей-торгашъ на толкучкѣ или гдѣ-нибудь, а въ своемъ мѣстѣ у него были работники, и всѣ ему дома воздавали почести. Ну вотъ и условился Янкель съ Бомкой ѣхать въ Петербургъ, работать вмѣстѣ, помогать другъ другу, а потомъ, когда у нихъ у обоихъ будетъ достаточно капитала на столько, чтобы Хая могла въ городѣ хорошо хозяйничать, тогда они и вернутся назадъ, а потомъ и опять въ городъ. Ну, пріѣхали, поселились на квартирѣ въ одномъ изъ домовъ по Екатерининскому каналу у евреевъ не изъ Б., а изъ другого города. Были у нихъ кое-какія вещи, продали они ихъ съ трудомъ, натерпѣлись нужды, наслушались русской брани... Жили они дружно другъ съ другомъ недѣли двѣ, потомъ Янкель сталъ замѣчать, что Бомка старается отъ него все подальше, подальше, начинаетъ скрытничать, по ночамъ куда-то уходитъ и ему на вопросы съ сердцемъ отвѣчаетъ—для общихъ интересовъ ему только одному нужно... И вдругъ въ Сиванѣ мѣсяцѣ (маѣ), пятаго числа, наканунѣ *швуэсъ*, получаетъ онъ отъ Бомки письмо по городской почтѣ: что де, хотя они и условились работать вмѣстѣ, но опытъ Бомку научилъ, что такъ работать нельзя; по пословицѣ только Богъ за всѣхъ хлопочетъ, а каждый человѣкъ долженъ самъ о себѣ заботиться. И пишетъ Бомка: теперь мы раздѣлимся, а

потомъ соединившись, сосчитаемъ деньги и потомъ посмотримъ, кто кого достойнѣе. «И ты помни законъ Моисеевъ, что клятву нарушать грѣхъ и долженъ по закону Моисееву самъ заботиться о себѣ, если только хочешь руки Хаи». Обидно сдѣлалось Янкелю, больно обидно. Обидно потому, что Бомка хитритъ. Но дѣлать нечего. Сталъ Янкель трудиться, только купцы еврейскіе не больно-то были плохи: сами за всѣмъ слѣдили, и ему ничего не приходилось подцѣпить въ свою пользу. Больно ему не нравилось жить въ приказчикахъ, а торговать самостоятельно онъ не имѣлъ возможности. Пережилъ онъ у многихъ купцовъ, всѣ они оказались мошенниками и даже—о, Іегова! на него смотрятъ съ недовѣріемъ; имъ русскіе лучше, потому что съ ними можно обращаться безапеляціонно. Они даже предпочитаютъ брать замѣсто еврейскихъ мальчиковъ русскихъ и то по протекціямъ... И сколько такихъ Янкелевъ пресмыкается въ Петербургѣ и сколько горя они мыкаютъ!.. Не сталъ Янкель служить приказчикомъ: у Янкеля самолюбія было много, потому онъ кровный еврей Янкель, а не фурманъ какой-нибудь... Сталъ Янкель торговать тряпьемъ, посудой, часами; приличную квартиру нашелъ въ подвалѣ, кузнеца къ себѣ пустилъ, вмѣстѣ съ нимъ часы передѣлывалъ, самовары лудилъ; продавалъ всякія вещи съ барышемъ; въ свой домъ посылалъ малую толику ежемѣсячно, и даже въ Фонарномъ переулкѣ... (Янкель взглянулъ вдругъ на даму и остановился. Я догадался, что онъ чуть не проболтался, но присутствіе дамы остановило его: у него въ Петербургѣ была любовница). Бомки онъ не видалъ полтора года, а слыхалъ, что онъ пустился въ ростовщичество сперва такимъ образомъ: нанялъ онъ съ одной русскою мѣщанкой, молодой еще женщиной, квартиру и сталъ отдавать подъ проценты деньги. Обчистивъ эту женщину чуть не догола, онъ еще ее засадилъ въ полицію, нанялъ большую квартиру, и рѣдкій изъ жильцовъ не выгонялся за долги черезъ полицію... Потомъ онъ сталъ важнымъ бариномъ. Теперь, добавилъ несчастный еврей, у него въ городѣ два двухъ-этажныхъ дома, нѣсколько лавокъ, а самъ онъ живетъ въ Петербургѣ и занимаетъ квартиру въ самой лучшей части города. Надъ его квартирой даже прибита вывѣска: золотыхъ дѣлъ мастеръ Анфимъ Николаевъ, потому что Бомка сталъ теперь купцомъ, продаетъ золото и окрестился.

— Ну, а ваша невѣста?

— Онъ написалъ братьямъ, что я ея не стою, что они, Бомки, могутъ выдать ее за богатаго человѣка. Хаю и выдали, а я ни при чемъ.

— Отчего же вы здѣсь живете, а не въ Петербургѣ, когда вамъ тамъ хорошо было?

— Ахъ, ахъ! кабы панъ понималъ?.. Русскіе... О, русскіе, русскіе!.. Еврей всю жизнь будетъ торговать, не попадется, а русскій—вай-вай! Дуракъ я, безмозглая башка, что связался съ русскимъ.

— Что такъ?

— Ужъ еврей не дастъ промаку, на то онъ и еврей... Вотъ, какъ Янкель попалъ сюда. Торговалъ я хорошо и на бойкомъ мѣстѣ. Янкеля всѣ знали. Чуть воровство—къ Янкелю; ну и дашь. Ладно... Ужъ коли еврей—сойдетъ какъ съ рыбы вода. А вотъ показалось моему жильцу завидно мое ремесло; дай, говоритъ, торговать буду. О, говорю, Степанъ, сиди лучше у своихъ мѣховъ, да куй, что есть... Нѣтъ, говоритъ, попробую... И чортъ его пихалъ! Пошелъ и попался. А попался, и сталъ кривить и меня впуталъ... Меня и послали сюда и запретили навсегда въѣздъ въ Петербургъ. И еврей тяжело вздохнулъ и задумался. Казалось, онъ вспомнилъ и кузницу, и черные фартуки, грязныя лица мальчиковъ рабочихъ, и толкучку, и покупателей и продающихъ, потому-что лицо его постоянно измѣнялось, онъ то вздрагивалъ, то глядѣлъ плутовски, то сжималъ кулаки. Онъ до того углубился въ свои думы, что не слыхалъ, какъ въ комнату вошла еврейка, и только когда она что-то пролепетала, онъ вздрогнулъ и сердито поглядѣлъ на нее. Еврейка поглядѣла на него полунасмѣшливо и полупрезрительно.

— Что скажите?—спросилъ я еврейку.

— Не надо ли баринѣ крестиковъ малюткѣ?

— Покажи,—сказала дама.

Еврейка подошла къ дамѣ, схватила ее за руку и поцѣловала. Лицо дамы покраснѣло, и она спросила:

— Это что значитъ?

Но еврейка съ удивленіемъ посмотрѣла на даму.

— Развѣ у васъ принято цѣловать руки у людей порядочно одѣтыхъ?—спросилъ я обиженно еврея.

— Съиздавна. Да и господа вообще любятъ, чтобы имъ крестьяне, въ особенности евреи, цѣловали руки. Это во всѣхъ нашихъ городахъ принято. Иначе господа осердятся, объяснилъ онъ мнѣ.—У насъ даже,—прибавилъ онъ,—принято, что при входѣ господъ мы, мужчины и женщины, должны вставать, если сидимъ.

— Странно!—сказалъ я.

Еврей вздохнулъ.

У еврейки ничего не купили, и она что-то съ сердцемъ сказала еврею и ушла.

— Чѣмъ же вы теперь занимаетесь?—спросилъ я еврея.

— Торгую. Какія деньги привезъ, употребилъ всѣ... Торгую водкой, калачами.

— Что же вамъ нужно?—спросилъ я еврея.

— А... Мнѣ!... Вы изъ Питебухъ... Хочу мстить.

— Развѣ евреи способны на то, чтобы мстить?

— Какъ зе? Развѣ это хорошо? шли вмѣстѣ, клятву дали, а потомъ врозь.

— Неужели всѣ такіе?

— И хуже бываетъ. Такъ, пане, вы узъ, какъ въ Питебухъ будите, непремѣнно своимъ пріятелямъ сказитъ: сто Анфилъ Николавъ есть Бомка, самая подлая человѣкъ... и записоцки ко всѣмъ пошлите.

— Но развѣ это вамъ поможетъ?

— Не помозетъ, но я знаю хорошо, сто Бомка знаетъ, муцится... Знаетъ онъ змѣю... И узе озлитъ ево эта змѣя.

Глаза Янкеля сверкали, лицо приняло угрожающее выраженіе.

Дамѣ очень надоѣлъ этотъ еврей; она нѣсколько разъ дѣлала мнѣ знаки, чтобы выпроводить его, но какъ я могъ сдѣлать это?

— И всѣмъ евреямъ насимъ только спросъ явите: кто Бомка золотыхъ дѣлъ мастеръ; всѣ сказутъ—плутъ! ей Богу!.. Сцастливо оставаться.

И, поклонившись не очень низко, но немножко вбокъ, еврей вышелъ трусцой.

Пришелъ мальчикъ. Мы попросили его поставить самоваръ и затопить печь, а потомъ спросили его, что это за человѣкъ; онъ сказалъ, что это какой-то сумасшедшій; хозяинъ приказываетъ гонять его отъ господъ, за что онъ и про хозяина говоритъ, Богъ знаетъ что. «Ну да, прибавилъ мальчикъ, стоитъ...» Я не сталъ его разспрашивать и пошелъ закупать себѣ провизіи, свѣчей и водки.

День клонился къ вечеру, былъ, кажется, часъ шестой, но еще довольно свѣтло. Вышедши на улицу, я старался разузнать и мѣстность, и дорогу, потому во-первыхъ, что занятый разговорами съ ямщикомъ утромъ, я забылъ, съ которой стороны мы ѣхали, да и улица обсажена деревьями. Домъ, въ которомъ я остановился, смахивалъ на петербургскій—какъ на Средней Мѣщанской улицѣ: трехъ-этажный, съ воротами посерединѣ, окрашенный желтою краскою. На немъ большая вывѣска «*гостиница европейскій трактиръ.*» Наискось, направо черезъ дорогу, на одноэтажномъ каменномъ посѣрѣломъ домѣ тоже вывѣска «гостиница Россія», налѣво, тоже черезъ дорогу, на деревянномъ домѣ опять вывѣска «компанія надежда», и противъ этого дома стоятъ телѣги, розвальны и дровни съ тюками шерсти и хлопка. Съ виду дома чистенькіе, только сѣренькіе; деревянныхъ домовъ очень немного, все больше каменныя строенія, даже есть и такія, въ которыхъ только одна дверь безъ оконъ. Меня удивило изобиліе лавокъ на тракту: что ни домъ, то и лавка; питейныхъ заведеній и считать устанешь. Но всѣ эти лавки заперты.

Подошелъ я къ одной лавкѣ, дверь заперта изнутри. Постучался—не отпираютъ, а въ домѣ говорятъ. Идетъ мужчина—еврей, я спрашиваю: почему заперты лавки?

— Шабашъ!—отвѣтилъ онъ.

Только теперь я вспомнилъ, что этотъ день былъ субботній; значитъ еврейскій праздникъ.

Много я прошелъ лавокъ запертыхъ; много лавокъ не было заперто, но въ нихъ ничего мнѣ не продали, отзываясь тѣмъ, что еще *шинкарка* не пришелъ, т. е. не наступилъ конецъ шабаша. Въ избахъ, безъ русскихъ печей и похожихъ на комнаты, съ грязными полами, гдѣ посрединѣ избы, гдѣ около оконъ, стояли узенькіе длинные столы, крытые бѣлыми простынями, въ головахъ, т. е. къ переднимъ угламъ, на этихъ столахъ стояли жестяныя и фаянсовыя тарелки и блюда съ подобіями русскихъ оладьевъ, т. е. опрѣсноки. Мужчинъ я не замѣчалъ въ домахъ, а только сидѣли съ праздничными лицами и въ праздничныхъ одеждахъ еврейки, съ безобразными париками. Парики эти, какъ мнѣ показалось, состоятъ не изъ волосъ, а косицы и лобъ покрываютъ двѣ черныя ленточки, весьма засаленные, на самыхъ же головахъ надѣты кокошники; только однѣ дѣвицы сидятъ съ необрѣзанными и только платочкомъ покрытыми волосами на головахъ. Въ лавкахъ, носящихъ названіе «распивочно и на выносъ», я не замѣчалъ прилавковъ, а просто — въ углахъ стоятъ боченки съ кранами, да около нихъ висятъ разныя мѣрки. И куда я ни приходилъ, мнѣ говорили одно: «шинкарка не пришелъ». Впрочемъ, въ одномъ мѣстѣ я досталъ водки и черстваго хлѣба.

Прошелъ я много улицъ и узкихъ переулковъ. Только и не заперты аптеки, кондитерская и два-три шинка.

Прогулялъ я два часа. Дама жаловалась, что ни самовара ей не подали, ни печку не затопили. Я пошелъ къ хозяину и встрѣтился съ нимъ въ коридорѣ.

— Хозяинъ, скоро самоваръ?

— Первый номеръ пьетъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ хладнокровно и пошелъ.

— А для восьмого нѣтъ?.. Хозяинъ, послушайте!

— Чего?!—крикнулъ онъ недовольно и остановился.

Я подошелъ къ нему.

— Какъ же вы деньги берете, я самоваръ не хотите дать?

— Будетъ. Я ужъ такъ, видя вашу бѣдность, далъ вамъ нумеръ... Вамъ въ кухнѣ мѣсто.

— Какъ такъ!..

Хозяинъ быстро ушелъ.

Дама сама пошла объясняться съ хозяиномъ. Хозяинъ вѣжливо извинился, обѣщался завтра вымести комнату, а мальчиковъ разругалъ за то, что они долго не даютъ жильцамъ самоваровъ.

Пока приготовлялся самоваръ, я пошелъ часу въ девятомъ за свѣчами и молокомъ. Свѣчей я досталъ скоро, но молока свѣжаго ни у кого не оказалось. Зато теперь всѣ всѣ питейныя заведенія были набиты евреями, но эти евреи были только навеселѣ, а не пьяны. Они разговаривали, кричали, ссорились, но никто не пѣлъ, не игралъ на инструментахъ и не плясалъ. Мнѣ только удалось подмѣтить въ этихъ заведеніяхъ то, что этотъ народъ, заканчивая свой праздникъ горячительными напитками, повѣрялъ здѣсь дѣйствія другихъ людей, своихъ товарищей, за всю недѣлю и, между прочимъ, учился мудрости другихъ. Здѣсь, по правдѣ сказать, кромѣ плутенъ, изворотливости еврейской въ отношеніи торговли, возки товаровъ и работы на фабрикахъ,—ни о чемъ больше не говорили. Ни политики, ни интереса общественнаго здѣсь не было: здѣсь каждый высказывалъ только свое, т. е. хвастался и корилъ другого чѣмъ-нибудь. Эти собранія евреевъ въ шинкахъ довольно оригинальны, только въ своемъ родѣ, потому что еврей интересуется только барышничествомъ, и ему до остального нѣтъ дѣла.

Во всемъ Б. я не нашелъ не только русской, но и другой какой-нибудь газеты, несмотря на то, что этотъ городъ стоитъ при желѣзной дорогѣ и очень значительный городъ какъ въ отношеніи путей сообщенія во внутрь Россіи, такъ и по промышленности.

Во всемъ Б. только три лавки, въ которыхъ торгуютъ русскіе православные; вся же торговля и промышленность находится въ рукахъ евреевъ. Русскіе кабаки отличаются и здѣсь своею оригинальностью: тѣ же пѣсни заунывныя, тѣ же пляски.

Немного я не дошелъ до гостиницы, какъ на меня чуть не наткнулась бѣжавшая, что есть мочи, женщина. Она размахивала руками, тяжело вздыхала и шептала истерически—ай-вай! ай-вай! охъ-охъ!

— Что съ тобой, матушка?—спросилъ я женщину, когда она задѣвши меня за локоть, остановилась смотрѣть на меня.

Ночь была лунная, и поэтому какъ она меня, такъ и я ее могъ разсмотрѣть. Она стояла неподвижно, на глазахъ слезъ не было, но глаза выражали и мольбу, и злость, на лицѣ выражалось страданіе.

— Али кто побилъ тебя?—спросилъ я ее.

Но она, вмѣсто отвѣта, всплеснула руками и поплелась тихо по тому направленію, куда бѣжала. Она не оглядывалась.

Наискосокъ гостиницы, посреди дороги, барахтались двое мужчинъ. Недалеко отъ нихъ, правѣе, на трактовой дорогѣ, стояло четыре воза; суетящіеся около возовъ русины, громко хохотали. Я подошелъ ближе: два еврея тузили немилосердно другъ друга, не издавая никакого голоса. Шапки ихъ валялись по дорогѣ, кафтаны то распахивались ужъ черезчуръ широко, то заплетали имъ ноги. Непріятели, какъ видно, не хотѣли уронить другъ друга на снѣгъ и такимъ образомъ сѣсть верхомъ на упавшаго; нѣтъ, каждый изъ нихъ старался попасть своему врагу въ глазъ и поэтому дѣлалъ смѣшные прыжки, заскакивалъ съ боку, наклонялъ голову такъ, что кулакъ другого ударялъ въ маковку черной ермолки.

Русины хохотали и подзадоривали драчуновъ еще хуже.

— Каково бьются жиды!—сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ, увидѣвъ, что я смотрю на драчуновъ.

— И съ чего бьются-то! Изъ пользы все,—сказалъ другой.

— Поди, пьяные,—сказалъ я.

— Станетъ тебѣ пьяный жидъ драться! пьянаго жида и на улицѣ не найдешь.

— Съ чего у васъ, бисы, драка-то?—крикнулъ одинъ русинъ евреямъ.

Евреи перестали драться. Одинъ изъ нихъ подошелъ къ возамъ и сказалъ:

— Разсудите!.. Поцему я хузе его?..

— Къ кацапамъ за совѣтъ!—крикнулъ другой еврей, и такъ ударилъ своего противника въ високъ, что тотъ схватился за щеку и, дрыгая ногами, побѣжалъ къ дому, приговаривая обиженно: ай! гва-алтъ!!!

Это еще больше насмѣшило какъ меня, такъ и русиновъ.

Дѣло было въ томъ, что оба эти еврея находились въ работникахъ у еврея купца. Но оба они никакъ не желали быть равны другъ другу. Рабство до того сковало ихъ, что черезъ него они не видѣли возможности перейти, и поэтому у хозяина старшіе работники считали себя тоже чѣмъ-то въ родѣ господъ надъ младшими работниками, хотя въ сущности биты бывали и тѣ, и другіе. Однако рабство младшихъ работниковъ почти не имѣетъ границъ, такъ-какъ ими командовалъ всякій изъ старшихъ, даже мальчикъ — лакей, живущій у купца, двумя мѣсяцами раньше поступившій въ дворню. На недавно прибывшаго въ дворню работника сваливали и упряжь лошадей, и сгребку снѣга, чистку дворовъ и т. п. Кромѣ этого, если хозяинъ посылалъ за товаромъ, то общимъ совѣтомъ дворни наряжался, вопреки приказанію хозяина, новичекъ. Впрочемъ, и у новичковъ были радостные дни, когда они могли взять во время возки товара какого-нибудь ѣздока, свезти отъ вокзала кому-нибудь вещи, незамѣтно отъ хозяина, и такимъ образомъ приберечь деньги къ большому празднику или къ ярмаркѣ. Такъ и теперь настоящая драка произошла оттого, что получившій ударъ въ глазъ былъ наряженъ купцомъ евреемъ принять и довезти до фабрики товаръ на своихъ лошадяхъ, такъ-какъ онъ жилъ у хозяина съ своими лошадьми съ такимъ условіемъ, что хозяинъ долженъ кормить лошадей, и за лошадь онъ ничего не получаетъ,—значитъ какъ онъ, такъ и его лошади работаютъ купцу изъ-за хлѣба. Эти наряды были, для бѣднаго еврея, хуже всего: онъ хорошо помнилъ завѣтъ своего родителя: «проклятъ будешь, коли пренебрежешь законъ нашъ; шесть дней дѣлай, субботу Господу Богу твоему». Правда, онъ помнилъ, что барышникамъ и работникамъ праздникъ ничто не значитъ, но ему хотѣлось свято чтить субботу. Вотъ онъ и попросилъ младшаго работника замѣнить его. А тотъ радъ былъ случаю: вмѣсто того, чтобы везти на лошадяхъ товаръ своему хозяину, онъ сталъ возить другому и возилъ до вечера. Вотъ бѣднаго еврея и взорвало: въ квартирѣ драться было нельзя, онъ и позвалъ его въ шинокъ, и какъ только они отошли отъ дому, обиженный и залѣпилъ ему оплеуху.

И сколько, говорятъ, здѣсь повторяется подобныхъ сценъ, и причина этому—богатые евреи, которые давятъ свой же народъ и доводятъ его до того, что онъ или идетъ въ Варшаву и Петербургъ, или разсыпается по Россіи.

Несмотря на то, что мы вечеромъ заказали хозяину, чтобы намъ завтра утромъ въ семь часовъ принесли самоваръ,—въ семь часовъ всѣ еще спали въ буфетѣ. Кое-какъ на мой стукъ прибѣжалъ хозяинъ и обругалъ меня за то, что я рано всталъ, сказалъ—сейчасъ, но дверей не отворилъ. Черезъ два часа я пошелъ въ буфетъ; хозяинъ въ рубашкѣ. Я спросилъ про самоваръ, онъ кинулся въ кухню

и закричалъ: самоваръ!! самоваръ!! Пришла женщина, за ней денщикъ и тоже стали просить самовары, говоря, что они уже два часа дожидаются и что генералъ съ полковницей хотятъ сами итти сюда. Можете себѣ вообразить, какой крикъ и гвалтъ поднялъ хозяинъ въ своей квартирѣ, но изъ этого крика рѣшительно ничего не вышло, потому что въ гостиницѣ теперь было много пріѣзжихъ, а прислуги только два-три мальчика. Намъ подали самоваръ черезъ часъ, въ продолженіе котораго я не выходилъ изъ буфета. Мнѣ хотѣлось узнать, что это за господинъ хозяинъ, но при каждомъ моемъ вопросѣ, касающемся его хозяйства, онъ уходилъ въ кухню и кричалъ: самоваръ!! Я только и узналъ, что онъ купецъ первой гильдіи, что домъ ему стоитъ сорокъ тысячъ, и что въ Петербургѣ онъ жилъ много лѣтъ. Когда я завелъ разговоръ о новомъ гласномъ судѣ, онъ сказалъ, что знаетъ про этотъ судъ, потому что самъ недавно былъ въ Петербургѣ, и при этомъ спросилъ меня, скоро ли у нихъ будутъ эти суды. Я сказалъ, что еще не скоро.

— Какъ не скоро? къ намъ и мимо насъ уже ѣдутъ молодые люди.

— Это, можетъ-быть, по межевой части или по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ,—объяснилъ я.

— Нѣтъ, я думаю, по судамъ, чтобы изслѣдовать. Трудно имъ будетъ. Трудно!

— Почему?

— По новымъ судамъ должны нашихъ назначить.

— Почему?

— Ужъ это такъ. Евреи народъ особый... Впрочемъ, насъ и судить-то нечего, мы сами себѣ судьи и никому не поддадимся.

— Но однако у васъ есть собственность, капиталы.

Хозяинъ поглядѣлъ на меня сурово и сказалъ: самоваръ принесутъ вамъ въ номеръ.

Повидимому, ему не понравился разговоръ о новыхъ судахъ и то, что я долго хожу въ буфетѣ. Я просилъ у него сани съ накладкой до Б. Л., но онъ запросилъ десять рублей.

Когда мы пили дома чай, къ намъ пришелъ какой-то господинъ. Онъ искалъ себѣ попутчика до Б. Л., такого, у котораго была бы подорожная. Мы затруднялись взять его съ собой, потому что у насъ своихъ вещей было много, вѣсомъ девять пудовъ, да у него чемоданъ. Онъ проклиналъ и городъ, и евреевъ.

— Скажите, пожалуйста, добросовѣстно ли это: дали мнѣ конуру безъ стола, слупили по 50 коп. въ сутки, пища гадость, ничего не дождешься. Да это еще ничего, а вотъ я двое сутокъ понапрасно живу здѣсь.

— Вы бы ѣхали.

— Попробуйте уѣхать! Прихожу я на почтовый дворъ — комнаты нѣтъ, лошадей безъ подорожной не даютъ; попутчиковъ тоже нѣтъ. Есть, да не сказываютъ. Прошу хозяина послать за лошадьми по графскому предписанію, онъ посылаетъ, но посланный исполняетъ его порученія по его же дѣламъ. Приходитъ и говоритъ: лошади всѣ въ разъѣздѣ... Это хозяинъ для того дѣлаетъ, чтобы я у него жилъ дольше. Требую сегодня счетъ—три рубля за двое сутокъ, съ одного меня! Это просто грабежъ. Я говорю: буду жаловаться полиціи, онъ улыбается и говоритъ: здѣсь нѣтъ полиціи! Какъ, спрашиваю, нѣтъ? Да такъ—нѣтъ, я самъ себѣ полиція. Каково?

Мы согласились взять съ собой Степана Иваныча, какъ назвался попавшій въ эту тину проѣзжающій господинъ. Теперь оставалось мнѣ только взять багажъ со станціи желѣзной дороги и найти сани съ накладкою посходнѣе. Ѣхать мы условились на трехъ, а если будетъ тяжело, то и на четырехъ лошадяхъ. Дама моя пошла рядиться съ хозяиномъ насчетъ саней, но онъ меньше шести рублей не хотѣлъ взять.

Въ конторѣ багажныхъ товаровъ соблюдается выдача билетовъ по очереди, а такъ какъ въ ней народу было много, то мнѣ пришлось бы пробыть въ ней долго, но къ счастію деньги за багажъ у меня были внесены еще въ Царскомъ Селѣ, откуда отправляли багажъ, то я и скоро отдѣлался, но того человѣка, который выдавалъ вещи въ амбарѣ, не было. Пока я смотрѣлъ на свои вещи, складенныя отдѣльно, ко мнѣ подошелъ еврей, держа въ лѣвой рукѣ квитанцію для полученія товаровъ.

— Вы сюда пріѣхали?—спросилъ онъ меня чисто русскимъ языкомъ, такъ что только по его лицу, одеждѣ и волосамъ онъ походилъ на еврея.

Я объяснилъ.

— Какъ же вы поѣдете?

— На почтовыхъ.

— О, дорого будетъ стоить. Подъ эти вещи, по крайней мѣрѣ, нужно четыре лошади. Право. На трехъ никто не повезетъ. Къ тому же и сани нужно большія.

— Мой хозяинъ проситъ шесть рублей за сани.

— За одни сани? Ахъ, мерзавецъ! Вотъ какъ нынѣ, ваше благородіе, наживаютъ капиталъ. Хотите, я васъ довезу до самаго Б. Л. за десять рублей? Лошади и сани съ накладкой будутъ мои. Сегодня вечеромъ тамъ будете.

На первыхъ порахъ я не подозрѣвалъ хитрости этого господина, потому что у меня въ настоящее время въ головѣ было двѣ мысли: чтобы поскорѣе увезти вещи, такъ какъ черезъ часъ амбаръ запрутъ, а потомъ надо искать сани. Мнѣ показалось дешево взять его сани и ѣхать на его лошадяхъ. Но вдругъ я сообразилъ, что вѣдь лошади могутъ устать.

— Вы говорите, вечеромъ мы будемъ тамъ?

— Завтра вечеромъ.

— Ахъ завтра. Это очень долго.

Еврей сталъ уговаривать меня съѣздить къ нему посмотрѣть сани. Я согласился, и мы поѣхали.

Сани были большіе, но низъ выпалъ.

Еврей и его работники стали увѣрять меня, что такихъ большихъ и легкихъ саней во всемъ городѣ не найти и что они пустыя мѣста заплетутъ бичевкой и мы будемъ ѣхать какъ въ каретѣ. Я не зналъ, рѣшиться или нѣтъ взять сани,

и сказалъ, чтобы сани привезли въ Европейскую гостиницу и показали ихъ той дамѣ, которая ѣдетъ до Б. Л.

Еврей, предлагавшій мнѣ сани, поѣхалъ со мной за багажемъ, но своего багажа онъ не получилъ, предоставивъ получить его своему работнику. И только что мы въѣхали во дворъ Европейской гостиницы, какъ на еврея накинулась жена нашего хозяина и стала его гнать вонъ съ его санями. Его сани стояли уже во дворѣ, они были обтянуты бичевкой, которая едва ли могла служить въ полусуточномъ путешествіи; накладка была придѣлана кое-какъ. Три лошади, запряженныя въ сани, были очень худы. Я не согласился взять ни его саней, ни его лошадей и получилъ отъ него названіе мошенника.

Нашъ хозяинъ согласился уступить сани сопутствуемой мною дамѣ за четыре рубля. Сани были хотя и тяжелыя, но довольно просторныя, и мы удобно разложили свои вещи.

Хозяинъ ни за что не хотѣлъ дать намъ росписки въ томъ, что онъ получилъ деньги за сани, а отдалъ только письмо къ еврею, своему пріятелю, которому мы должны были отдать сани.

— Отчего же не хотите дать росписку дамѣ, когда она дала вамъ росписку въ полученіи саней?— спрашивалъ я хозяина.

— Вы мнѣ не вѣрите? У меня милліонъ капиталу! капиталу милліонъ! Фрейбергъ, первой гильдіи купецъ!! Фрейбергъ во всемъ Петебухъ извѣстенъ!— горячился хозяинъ.

— Но, однако, дама дала же вамъ росписку.

— Она должна. Я ея не знаю. Много здѣсь всякой швали проѣзжаетъ.

— А если я попрошу, кого слѣдуетъ, чтобы вы дали мнѣ или дамѣ росписку, потому что, кто васъ знаетъ, что вы написали въ письмѣ къ вашему другу.

— И говорить не желаю. А кто меня пугаетъ полиціей, самъ просидитъ въ ней мѣсяцъ! и онъ сѣлъ за конторку.

Возражать намъ такому тузу было безполезно, и мы потребовали отъ него счетъ.

Ни я, ни дама этотъ счетъ не признали правильнымъ.

Но, однако, черезъ полчаса мы раздѣлались совсѣмъ съ хозяиномъ и подаривъ ему еще 25 коп. за то, что онъ посылалъ за почтовыми лошадьми, мы усѣлись кое-какъ и тронулись въ путь.

Намъ пришлось ѣхать черезъ рынокъ, который, по случаю воскреснаго дня, былъ биткомъ набитъ евреями, такъ что намъ кое-какъ давали проѣздъ, говоря: кацапы ѣдутъ, кацапы!

Ярмарка въ еврейскомъ городѣ.

Утро. Небо заволокло тучами. Дуетъ съ сѣверозапада холодный вѣтеръ. Шоссе покрыто грязью. Изъ крѣпости на шоссе то-и-дѣло или выѣзжаютъ на телѣгахъ, запряженныхъ парою воловъ, крестьяне въ длинныхъ волосахъ, въ мѣховыхъ горшкообразныхъ шапкахъ, въ бѣлыхъ, сомнительной чистоты, рубахахъ съ широкими воротничками, въ сѣрыхъ и коричневыхъ зипунахъ съ кожаными обшлагами и мѣховыми воротниками, съ кожаными сумками на боку или спинѣ, въ которыхъ хранятся билеты на свободный проѣздъ черезъ черту границы царства польскаго съ внутренними губерніями, паспорты и т. п. бумаги, женщины въ длинныхъ бѣлыхъ или синихъ рубахахъ, или въ сѣрыхъ и коричневыхъ зипунахъ, нѣкоторыя въ лаптяхъ, нѣкоторыя въ большихъ мужскихъ сапогахъ, съ обвязанными холстомъ головами на подобіе кокошниковъ, такъ что концы холста балтаются до пятъ, дѣвицы съ распущенными волосами, частію босыя, мальчики, всѣ эти люди, сидя въ телѣгахъ или идя позади ихъ, оглашая воздухъ восклицаніями: га! гуа! ньо! погоняютъ впереди себя коровъ, воловъ, козловъ и телятъ. Кромѣ этихъ восклицацій, разговоровъ не слышно; всѣ взрослые сосредоточенно смотрятъ то на тощихъ животныхъ, то впередъ, какъ будто что-то соображая, а если и заговорятъ, то изъ этихъ разговоровъ тотчасъ дѣлается понятно, что они ѣдутъ и идутъ на ярмарку, главный предметъ которой есть скотъ.

Много прошло и проѣхало крестьянъ со скотомъ; много навстрѣчу имъ и солдатъ, идущихъ въ крѣпость, попалось, и повидимому ни тѣ, ни другіе, то-есть ни крестьяне и ни солдаты, не обращали вниманія другъ на друга. Но вотъ идетъ женщина въ ваточномъ пальто, крытомъ чернымъ сукномъ, съ платкомъ на головѣ, въ ситцевомъ короткомъ платьѣ и босая. Держа въ правой рукѣ хворостину, она подпрыгиваетъ къ рыжей тощей коровенкѣ, которой, такъ и кажется, что жить осталось уже немного дней. Женщина эта уже пожилая; на лицѣ ея отражается и болѣзнь и истощеніе; по ея ходьбѣ замѣтно, что она готова бы была хоть немножко присѣсть; но несмотря на это она употребляетъ всѣ силы, чтобы ей ни на шагъ не отстать отъ коровы. Она идетъ молча и даже не отвѣчаетъ на болтовню идущаго или впереди или позади ея юноши 18 лѣтъ, въ длинномъ зеленаго цвѣта сюртукѣ, въ фуражкѣ похожей на чайникъ, съ пуговкой на маковкѣ, въ триковыхъ брюкахъ, засученныхъ на вершокъ выше колѣнъ. Этотъ молодой человѣкъ, держа въ правой рукѣ тоненькую палочку то-и-дѣло старается ударить коровенку, какъ только та немножко поотстанетъ. Вдругъ молодой человѣкъ остановился.

— Мамо! Я отдохну,—сказалъ онъ.

Женщина остановилась, взглянула на него сердито, взмахнула хворостинкой и охриплымъ голосомъ сказала:

— Стыдись! и стала догонять коровенку, которая, помахивая хвостомъ и понуривъ голову, шла не торопясь и покачиваясь изъ стороны въ сторону. Молодой человѣкъ постоялъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, глядя на то, какъ грязь съ каждымъ шагомъ пристаетъ къ непокрытымъ ногамъ его

матери, и медленно пошелъ къ ней. Вдругъ ѣхавшій въ телѣгѣ крестьянинъ сталъ драть витнемъ коровенку за то, что она мѣшала итти его воламъ, такъ какъ женщина и коровенка ея шли посерединѣ шоссе; молодой человѣкъ подбѣжалъ къ телѣгѣ и ударилъ палкой одного вола. Завязалась брань: крестьянинъ обзывалъ молодого человѣка полякомъ и поганой шляхтой, молодой человѣкъ—разбойникомъ, но скоро пѣшіе отстали, и мать съ сыномъ попрежнему шли молча то рядомъ, то отставая, то перестигая другъ друга. Наконецъ женщина, какъ видно, не утерпѣла и проговорила.

— Всѣ они на насъ. Ну чѣмъ ему корова надоѣла? проклятые!

— И хочется тебѣ, мама, итти. Продала бы и тамъ.

— Молчи: я больше твоего знаю.

И они опять замолчали.

Остановилась корова: сынъ ударилъ ее по ребрамъ. Мать вдругъ подскочила къ сыну и ударила его рукой по щекѣ такъ, что онъ отшатнулся и, ступивши одной ногой въ яму, забрызгалъ грязью правый бокъ своего сюртука.

— За что ты ее бьешь-то, собака! тебя бы вмѣсто ея продать.

— Мамо!

— Молчи.

— Какую корову-то продаешь! кто ее купитъ? — крикнулъ съ сердцемъ сынъ.

— Правда, правда. Въ полиціи вѣрно мало сиживала,—подхватилъ одинъ изъ солдатъ, шедшихъ недалеко отъ нихъ въ городъ.

Женщина оглянулась, посмотрѣла на обѣ стороны.

— Что глядишь-то! нѣшто продаютъ такихъ коровъ?—сказалъ одинъ солдатъ.

— Тебя не спросятъ, крапива!—сказалъ сынъ негромко и перешелъ на другую сторону отъ солдатъ.

Солдаты засмѣялись.

— Что тетка, али послѣдняя коровенка-то?—спросилъ опять солдатъ женщину.

Женщина промолчала. Солдаты стали надоѣдать ей и сыну, который, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, вдругъ сказалъ:

— Мы дворяне.

Солдаты захохотали, а женщина съ презрѣніемъ посмотрѣла на сына.

Скоро вошли въ городъ, а черезъ часъ и на ярморочную площадь.

На большой площади, за городомъ, около рва, большое движеніе. Полиціанты то-и-дѣло раздвигаютъ народъ въ ряды, т. е. отводятъ мѣста торгующимъ скотомъ. Устанавливаются въ ряды телѣги, быки, коровы, лошади, телята, козы. Крики, брань изъ-за мѣстъ не умолкаютъ.

— Ты куда встала? пошла дальше!—кричитъ русинъ полькѣ.

— Нехай, тутъ можно.

— Иди прочь, наше мѣсто куплено.

— Мы сами купили!—кричитъ сынъ польки.

— Что кричать? гнать ее надо!

Является полиціантъ. Проситъ деньги за мѣсто. Полька говоритъ, что у нея денегъ нѣтъ; ее гонятъ ко рву, при крикахъ торгашей русиновъ и евреевъ, толкущихся безъ скота и вещей.

Женщина стала ко рву. Около нея не было телѣгъ, и ей пришлось стоять. Но она гладитъ корову, говоря: о! моя кохана! Торгъ еще не начинался, потому что то-и-дѣло на площадяхъ прибываютъ новые торгаши со скотомъ. Является больше и больше евреевъ и евреекъ, частію со своими козами, свиньями, быками, взятыми подъ залогъ денегъ у крестьянъ; частію съ хлѣбомъ, пивомъ, медомъ и квасомъ; первые то-и-дѣло выбираютъ видныя мѣста, вторыя усаживаются въ подвижныя лавочки. Являются продавцы косъ, чашекъ и ложекъ деревянныхъ, простой работы и огромныхъ размѣровъ.

Еврей гонитъ четырехъ коровъ и пару воловъ.

— Куда ты, собачья морда, прешь! развѣ велѣно помногу продавать,—кричитъ полиціантъ и дергаетъ еврея за кафтанъ.

Еврей улыбается и одной рукой крутитъ лѣвый пейсикъ для приданія себѣ достоинства и идетъ дальше.

— Тебѣ говорятъ? ты постой, не уйдешь.

— А что пану нужно?—говоритъ еврей недовольно, тономъ праваго человѣка, растягивая послѣднее слово.

— Чьи коровы-то?

— Чьи коровы?

— Да, говори.

— А что панъ держитъ? что пану нужно?!—говоритъ недовольно еврей; глаза его сверкаютъ.

Полиціантъ, не зная, къ чему придраться, говоритъ:

— На коммисію взялъ?

— Свои. Своими каждую ярмарку торгую Панъ полицмейстеръ самъ покупалъ... потомъ, подойдя къ полиціанту, онъ шопотомъ что-то проговорилъ ему, тотъ улыбнулся, покачалъ головой и пошелъ къ одной телѣгѣ, изъ которой женщина вытаскивала маленькаго теленка.

— Пошла туда! вонъ куда! и полиціантъ указалъ рукой.

Женщина поглядѣла, утерлась ладонью и спустила на землю теленка.

— Кому говорю?

Женщина молчитъ.

— Ткни ее,—говоритъ еврей.

— Она, панъ, нѣмая,—говоритъ сосѣдъ женщины.

— Пошелъ ты!—гонитъ полиціантъ сосѣда.

— Это для жида! провалюсь, не пойду. Онъ у помѣщика взялъ быковъ... быки ужъ проданы... знаемъ!—кричатъ русины.

Еврей начинаетъ ругаться съ русиномъ и отходитъ дальше.

Десятый часъ. Покупателей нѣтъ. Торговцы со скотомъ ежеминутно прибываютъ. Въ серединѣ площади становится тѣсно. Число полиціантовъ увеличивается.

— Станьте ровнѣй! полицеймейстеръ идетъ!— кричатъ полиціанты. Торговцы дѣлаютъ движеніе или показываютъ видъ, что они готовы хоть на губернатора смотрѣть, но по лицамъ ихъ пробѣгаетъ боязнь, потому-что отъ взгляда начальства зависѣло счастіе или несчастіе: могутъ къ чему-нибудь придраться, прогнать съ ярмарки и т. п.

Идутъ пара полиціантовъ, за ними писарь съ кокардой на фуражкѣ. Писарь этотъ изъ внутреннихъ губерній.

— Одна!

— Другая!—говорятъ полиціанты писарю.

Писарь ставитъ на мѣстѣ палочки.

— Это онъ что же пишетъ? — спрашиваетъ крестьянинъ сосѣда.

— Господь его вѣдаетъ. Надо кошель растрясать; ишь полицеймейстеръ.

— А намѣстникъ на что?

— Мы посмотримъ, будетъ ли евреевъ описывать?

— Будутъ спрашивать—молчи, скажемъ: глухъ.

Полиціантъ и писарь дошли до подвижной лавочки и остановились.

— Чѣмъ торгуешь?—спросилъ писарь еврейку.

— Квасомъ, панъ.

— Свидѣтельство!

— Ай, панъ, свидѣтельство полиціантъ взялъ. Прошу, панъ, присѣсть.

— Ладно, угощай.

Еврейка нацѣдила въ стаканъ изъ боченка, находящагося подъ столомъ, бѣловатой жидкости, поставила на столъ тарелку съ маринованной щукой.

— Отлично вы маринуете. У насъ, въ Саратовской губерніи, и понятія не имѣютъ... Ну, съ ярмаркой!

За писаремъ выпили и закусили полиціанты.

— А панъ полицмейстеръ будетъ? — спросила еврейка.

— Нѣтъ... можетъ, послѣ. А ты смотри, водку-то храни въ куточкѣ (въ углу).

— О! не сомнѣвайся панъ... неужели я... и еврейка дала два злоты писарю.

Писарь поблагодарилъ и пошелъ дальше, по направленію къ дому, на стѣнѣ котораго навѣшаны фуражки и около котораго лавочка съ надписью «заезждій домъ».

Снуютъ евреи въ длинныхъ камлотовыхъ, плисовыхъ и суконныхъ кафтанахъ, со стриженными затылками, съ пейсиками.

— Сколько стоитъ быкъ?

— Двадцать семь.

— Э-е.

И еврей осматриваетъ быка.

— Бери пятнадцать, безъ разговору.

— Двадцать семь.

— Дуракъ! кромѣ евреевъ никто не купитъ.

— И не продамъ.

Подходитъ еврей къ полькѣ и осматриваетъ молча корову.

— У кого, пани, купила?

Полька удивляется и объявляетъ, что корова у нея жила пять лѣтъ.

— Изъ-подъ Крестовъ?

— Рижицъ.

— Худая, пани, едва ли продашь. На колотье и кацапы—русскіе не возьмутъ.

— Тебѣ что надо-то?—вспылила полька.

— А сколько бы ты, пани, взяла?

— Это дѣло мое... двадцать пять.

Еврей захохоталъ.

Въ это время пришелъ сынъ польки и сказалъ ей, почемъ продаютъ на ярмаркѣ коровъ. Ниже двадцати рублей нѣтъ ни одной коровы.

— Да я тебѣ бы и за тридцать не продала,— сказала полька еврею.

— Ой, пани, никто тебѣ не дастъ этой цѣны. Вспомнишь мое правое слово... мнѣ твою корову не купить, я только говорю, что здѣсь, у логу, тебѣ и совсѣмъ ея не продать, хоть сколько ты ее ни гладь и ни ласкай.

— Развѣ я виновата?

— Знаю... А я за два злоты уступлю тебѣ свое мѣсто.

Торгъ состоялся на одномъ злотѣ, и честный еврей привелъ польку на видное мѣсто, въ пространство еще никѣмъ не занятое.

Еврей ушелъ.

Начали являться покупатели.

Подходитъ къ полькѣ старушка-еврейка. Поглядѣвъ на корову минутъ пять, она вдругъ спросила ее:

— Безъ теленка?

— Да.

— Купи моего.

— Не на что.

— Безъ теленка не купятъ, а у меня одинъ есть еще... тотъ лишній. Купи.

— Нѣтъ, не надо.

Однако еврейка уговорила польку взять у нея теленка, съ тѣмъ однако же условіемъ, что теленокъ будетъ находиться при коровѣ польки и за это полька должна будетъ, въ случаѣ не-продажи его, заплатить еврейкѣ двадцать грошей.

Недалеко отъ польки, вокругъ одного рыжеволосаго съ обожженнымъ лицомъ русина, собралась толпа народа.

Гвалтъ.

— Я далъ вести быка Якову Клюквѣ... Разберите, коханые мои, всю правду...

— Укралъ быка!

— Въ полицію его!

— Сличные мои! мой быкъ-то... на лѣвомъ боку полоска есть!

— Въ полицію!

— Что за крикъ! въ чемъ дѣло?—спрашиваетъ подошедшій квартальный.

Разобрать изъ криковъ ничего нельзя: одинъ говоритъ, что быка этотъ мужикъ нарочно сюда сховалъ (спряталъ), чтобы продать его, другой—что ему нужно морду набить и т. п.

— Молчать! тише!! говори, мужикъ: гдѣ ты взялъ быка?

— Я... ваше благородье, панъ милостивый...—И мужикъ кинулся въ ноги квартальному.

— Въ полицію!—кричатъ евреи.

— Нѣтъ, панъ начальникъ, выслушай. Еврей укралъ быка!—кричитъ вдругъ слѣзшій съ одной телѣги русинъ, до сихъ поръ не принимавшій никакого участія въ спорѣ. За нимъ послышались голоса другихъ русиновъ: — еврей! еврей быка у Ивана Письки укралъ.

Крики увеличились. Сбѣжались евреи. Евреи кричали съ ожесточеніемъ и требовали суда; русины защищали своего товарища, который никакъ не могъ разсказать исторіи съ быкомъ, потому что ему не давали.

— Будьте вы прокляты, дьяволы! вотъ народецъ! — кричитъ квартальный, который въ этомъ гвалтѣ ничего не можетъ разобрать.—Полиціанты!— кричитъ наконецъ квартальный, стиснутый народомъ.

— Заразъ!—кричитъ одинъ еврей и идетъ изъ толпы.

— Держи его! онъ вѣдь быка-то укралъ!—кричитъ русинъ съ телѣги.

Вызвавшійся еврей поднимаетъ кулакъ и бѣжитъ дальше.

— Уйдетъ! держите!—кричатъ русины.

Еврея схватываютъ и приводятъ къ квартальному.

— Ты куда побѣжалъ-то?! какъ тебя зовутъ?— спрашиваетъ квартальный еврея.

— Я ничего панъ,—я за полиціантомъ.

— Вотъ говорятъ, что ты взялъ быка! гдѣ ты его взялъ?

— Ничего не знаю.

— Ой, вретъ... я далъ быка Якову Клюквѣ, потому самъ не поспѣлъ съ нимъ, самъ кладь везъ... его же отецъ подряжалъ меня... Яковъ Клюква ночевалъ въ мѣстечкѣ, у него на квартирѣ.

— Это точно, я и купилъ у него быка,—сказалъ еврей.

— Вретъ, вретъ! мошенникъ!—кричитъ русинъ.

— Гдѣ Яковъ Клюква?

— Онъ тамъ.

— Пойдемте къ нему.

— Какъ же намъ итти, намъ нельзя: быки, коровы...

Желающихъ итти къ Якову Клюквѣ никого не нашлось; всѣ отговаривались тѣмъ, что имъ нельзя итти. Пришлось посылать за нимъ.

По разспросамъ оказалось, что Яковъ Клюква дѣйствительно ночевалъ въ мѣстечкѣ на постояломъ дворѣ у еврейки Берки Дворниной, и Гиршу Дворнина, мужа ея, онъ не видалъ. Утромъ Берка сказала ему, что передъ свѣтомъ заходилъ Ванька Писька и будилъ его, Якова, только не могъ добудиться его, потому-что онъ былъ пьянъ и поэтому быка увелъ. Яковъ сталъ сомнѣваться и искать хозяина, но не нашелъ и, думая, что Берка говоритъ правду, повелъ своихъ быковъ на ярмарку и тамъ встрѣтилъ Гиршу съ быкомъ Ваньки; спрашиваетъ онъ Гиршу: зачѣмъ онъ увелъ быка? Гирша сказалъ: тебѣ Ванька велѣлъ быка вести ко мнѣ, потому что онъ мнѣ долженъ и показалъ мнѣ, Якову, росписку.

— Ай-ай! русинъ дуракъ! быка продалъ и назадъ беретъ! говоритъ, что еврей воръ!—смѣялись евреи.

— За что я тебѣ долженъ?

— За сѣно! за овесъ! Это что!! — и Гирша Дворнинъ досталъ изъ-за пазухи записку, которую и подалъ квартальному, говоря: — читайте, ваше благородье. Онъ говоритъ, что я воръ! Посмотрите, кто воръ?

Квартальный повертѣлъ росписку и отдалъ назадъ.

— Отдайте же, панъ милостивый, быка, — вопитъ Ванька Писька.

Опять гвалтъ. За еврея стали заступаться евреи, говоря, что если ужъ мужики не станутъ платить долговъ — евреямъ совсѣмъ житья не будетъ. И такъ ихъ чиновники надуютъ на сотни рублей.

— Идите въ полицію!—крикнулъ квартальный.

— Да, въ полицію! Всѣхъ въ полицію,—закричали евреи.

— Ваше благородіе! помилуйте, ярмарка...

— Въ такомъ случаѣ пусть Иванъ Писька продаетъ быка, а деньги по роспискѣ заплотитъ послѣ, —рѣшилъ квартальный и ушелъ.

Гвалтъ увеличился. Евреи стали отнимать отъ русина быка, за русина заступились товарищи. Началась драка, которую розняли полиціанты, и Гиршу съ Иваномъ Писькой повели въ полицію, но черезъ полчаса Писька вернулся съ торжествующимъ видомъ, говоря, что жидъ ничего не взялъ, и быкъ теперь не ускользнетъ ужъ отъ него.

Являются покупатели, но торгаши дорожатся. Такъ коровы стоятъ отъ 15 до 40 руб., быки 17, 25 и 30 руб., лошади 20, 25 и 40 руб.

Передъ телѣгой стоитъ жена унтеръ-офицера. Оглядѣвъ корову со всѣхъ сторонъ, она спрашиваетъ.

— Давно отелилась?

— Передъ праздникомъ.

— Ахъ, какъ ты врешь! Развѣ я не вижу по вымю-то?

Крестьянка божится.

— И за такую тощую коровенку, просишь 28!.. Ну-ко?!—и унтеръ-офицерша показываетъ коровѣ ломоть хлѣба. Корова разѣваетъ ротъ и идетъ къ унтеръ-офицершѣ.

— Что, корову смотрите? А кажется...—спрашиваетъ унтеръ-офицершу чиновница.

Унтеръ-офицерша дѣлаетъ знакъ, чтобы чиновница молчала.

— Много ли молока-то даетъ? — спрашиваетъ унтеръ-офицерша.

— Четыре гарнца.

— А сколько просишь?—спрашиваетъ чиновница.

— Двадцать девять.

— Какъ дорого!.. Совсѣмъ нынѣ все подорожало. И отчего это? — обращается чиновница къ унтеръ-офицершѣ.

— Солдатъ много. Ну, такъ двадцать!

— Позвольте я посмотрю!.. — говоритъ чиновница и лѣзетъ къ коровѣ.

— Бодается... подальше, — говоритъ унтеръ-офицерша.

— Ничего.

— Такъ ты говоришь двадцать шесть?—спрашиваетъ чиновница крестьянку.

— Позвольте... я раньше васъ,—замѣчаетъ недовольно унтеръ-офицерша.

— Извините... ярмарка для всѣхъ.

— Только не для васъ.

— Ахъ, какая ты грубіянка!.. Вотъ и видно польку.

— Ахъ, какая вы невѣжа... Послушай, мужичка, бери двадцать?

— Я даю двадцать одинъ,—говоритъ съ азартомъ чиновница.

— Хорошо, пусть за вами. Можете покупать: — отличная корова!.. На вымя-то посмотрите! —и унтеръ-офицерша уходитъ.

Чиновница торгуетъ корову, но даетъ только семнадцать рублей, идетъ дальше и натыкается на ту же самую унтеръ-офицершу, которая покупала корову. Унтеръ-офицерша продаетъ свою корову.

Около нея стоятъ двѣ женщины: одна писарша, другая бухгалтерша.

— И какъ вамъ, Катерина Васильевна, не жаль свою корову продавать!—говоритъ писарша.

— Что дѣлать! Мужа переводятъ.

— Скажите!!

— Эти переводы бѣда: нескоро распродашь,— говоритъ бухгалтерша.

— А вы свою не продали?

— Продаю: прошу тридцать, даютъ двадцать.

— Ну, да и плоховата коровка-то.

— О, пани, какъ вы ошибаетесь... Вотъ ужъ ваша-то!

— Моя что! Доходы нынче плохи... Вѣдь намъ евреи не даютъ за подряды, какъ вашему мужу...

Бухгалтерша уходитъ. Унтеръ-офицерша и писарша хохочутъ. Подходитъ крестьянинъ, смотритъ корову унтеръ-офицерши и покупаетъ ее за восемнадцать руб.

— Смотри, не обманывай!— говоритъ онъ, отдавая деньги.

Унтеръ-офицерша идетъ къ той крестьянкѣ, у которой раньше хотѣла купить корову.

— Ну, такъ двадцать?

— Двадцать пять.

Унтеръ-офицерша покупаетъ за двадцать два рубля, погоняетъ корову и становится на самое видное мѣсто, сунувъ предварительно въ руку полиціанта что-то. Здѣсь она продаетъ корову за тридцать рублей.

Полдень. Ярмарка въ разгарѣ. Весь праздничный людъ пришелъ на ярмарку: кто посмотрѣть на ярмарку, кто пива выпить, кто прицѣниться. Вся площадь полна говора, криковъ, разныхъ возглашеній. Начинаютъ покупать коровъ, лошадей, быковъ. Идетъ мѣна.

— Сличный! Тридцать пудовъ возитъ!—говоритъ крестьянинъ, гладя быка.

— И мой... Ну? Бери!

— Пять рублей дай придачи.

— Бери.

Мѣна произошла. Давшій придачи ушелъ.

— Савелій, обмѣнялъ?

— Го-го!.. О, коханый!—гладя быка любуется крестьянинъ.

— Что ты слѣпъ? гляди, нога-то драная!

Крестьянинъ осматриваетъ быка, заставляетъ его итти, быкъ хромаетъ.

Крестьяне смѣются.

— Ахъ, будь онъ проклятъ! А вѣдь я какого промѣнялъ-то.

— Ищи теперь его!

— Ахъ, бѣда! Крестьянинъ пошелъ разыскивать обманщика.

Въ другомъ мѣстѣ крестьянинъ, продавъ пару быковъ, купилъ лошадь у еврея. Лошадь стояла съ часъ и вдругъ упала. Крестьянинъ ее и палкой тыкалъ, и кулаками тузилъ, и соли засовывалъ ей въ ротъ—лошадь не встаетъ. Одумался крестьянинъ и заплакалъ.

— О, чтобъ я теперь сробилъ съ нимъ!—кричитъ онъ. Вдругъ видитъ онъ позади себя того самаго еврея, у котораго купилъ лошадь. Еврей ничего не покупаетъ, а такъ что-то высматриваетъ.

— Ты что сробилъ!—кричитъ со злостью крестьянинъ и бьетъ еврея.

— Ай! гвалтъ!!.

Ихъ окружаетъ народъ. Начинается разборъ— въ чемъ дѣло.

— Ни!.. никогда не торговалъ лошадьми. Лопни глаза, чтобы я продавалъ!—отпирается еврей.

— Можно доказать: обыскать его, если есть у него деньги, — продавалъ,—говоритъ подошедшій офицеръ.

Еврей выворачиваетъ карманы — денегъ ни гроша.

— Надо, братецъ, помнить, у кого что берешь!— утѣшаетъ офицеръ крестьянина и уходитъ.

Къ полькѣ подходитъ офицеръ съ денщикомъ и женою. Всѣ осматриваютъ корову.

— Ну, какъ, душа моя, ты находишь!— спрашиваетъ мужъ жену.

— Не знаю, какъ ты.

— Какая ты баба!..

— Фи, какія ты вещи говоришь!..

— Ну, взяла бы съ собой кухарку... Денщикъ! какъ ты находишь?

— Денщикъ осматриваетъ корову и находитъ, что теленокъ не совсѣмъ что-то походитъ на мать. Это замѣчаніе смѣшитъ офицера и его жену, которая называетъ денщика дуракомъ и глупцомъ. Полька высказываетъ свое горе, говоря, что ей и ея большой семьѣ ѣсть нечего, и что, кабы не это обстоятельство, она ни за что бы не продала коровы.

Офицеръ покупаетъ корову съ теленкомъ. Денщикъ гонитъ ихъ отъ польки. Полька плачетъ.

Вдругъ старая еврейка подбѣгаетъ къ денщику и спрашиваетъ:—сколько дали?

— Сколько дали—наше дѣло... А тебѣ что?

— Мнѣ нужно потому, чтобы она меня не обидѣла... Я еще не получила съ нея деньги за теленка.

— Разѣ теленокъ-то твой?

— А какъ же—мой.

— Ваше благородье! А ваше благородье! надули насъ.

— Какъ такъ.

— Теленокъ-то ейный,—и денщикъ указалъ на еврейку.

— Назадъ!!

— Какъ ты смѣла обманывать? Подавай деньги. Полиціантъ, возьми эту шельму!—кричитъ офицеръ.

За нимъ закричала и жена его.

Кое-какъ польку оставили въ покоѣ, зато оставили ей корову, и еврейка стала требовать съ нея деньги за то, что она держала теленка.

Полька плакала.

Коровы мычатъ, лошади ржутъ. Рѣдко-рѣдко гдѣ есть кормъ. На телѣгахъ сидятъ только одиѣ бабы и гложутъ сухой ржаной хлѣбъ. Кое-гдѣ около телѣгъ уже нѣтъ скота, но это замѣтно только при внимательномъ наблюденіи. Скота еще много не продано, и часть его уже обмѣнена: быки на лошадей и быковъ же, коровы на быковъ. Козы пока безъ спросу. Мужчины уже загуляли: кто выпилъ винца, кто пивца. Многіе сидятъ въ лавочкахъ и, закусывая селедкой или яйцомъ, спорятъ о скотѣ. Евреевъ очень мало. Скотъ продается дешевле.

— Знать, мнѣ не продать бычка-то!—жалуется старушка женщинѣ, продавшей двухъ коровъ.

— Эко дѣло! Покупателей нынѣ мало.

— А горе, коли не продамъ: старикъ помираетъ. Ахъ! и старуха закрыла лицо ладонями.

— А можетъ и продашь:—подожди до вечера... Много скота-то, вишь ты, нонче привели.

Мимо этой группы идутъ чиновникъ и квартальный.

— Да, ярмарка! только очень грязно, и скотъ дрянь.

— Край здѣсь очень бѣдный, общипанный.

— Извѣстно—еврейскій...

— Мы евреямъ не дозволяемъ торговать. Такъ, въ-одиночку развѣ... Да и крестьяне народъ тертый: сами умѣютъ хорошо надувать.

— Ну-съ, нашли лошадку?—спрашиваетъ вдругъ чиновникъ квартальнаго.

— Вотъ! посмотрите... Я уйду: мнѣ нельзя... Подумаютъ, Богъ знаетъ что, и—квартальный уходитъ.

Чиновникъ смотритъ лошадь, за которую просятъ тридцать рублей; выспрашиваетъ: откуда она, почемъ коровы, почемъ кормъ.

— Павло! Али не видишь, онъ такъ! Смотри, чтобы худо не было!—кричитъ подошедшій вдругъ крестьянинъ.

— Ошибаешься, любезный... И если бы ты не былъ грубъ, я бы купилъ... и чиновникъ уходитъ.

— Знаемъ: даромъ хошь!

Но чиновникъ ужъ былъ далеко.

Изъ горожанъ на ярмаркѣ становится больше и больше пьяныхъ. Въ одной лавочкѣ сидятъ: молодой еврей, пожилой помѣщикъ и двое крестьянъ, одѣтыхъ по праздничному.

— Ты думаешь, у меня нѣтъ денегъ? А? — говоритъ помѣщикъ одному крестьянину.

— О, панъ!.. отвѣчаетъ крестьянинъ улыбаясь.

— Нѣтъ, ты погляди! и помѣщикъ вытаскиваетъ бумажникъ... А, пани! прошу! говоритъ онъ вдругъ шедшей мимо женщинѣ изъ проститутокъ.

Та заходитъ. Начинается угощеніе.

Подходитъ квартальный.

— Позвольте... Здѣсь неприлично... народъ... замѣчаютъ помѣщику.

— Пошелъ прочь!

— Позвольте...

— Я опять быковъ купилъ!.. я сто ковъ продалъ, вотъ ему...

— Вы знаете... исключительное положеніе.

Помѣщикъ распростился съ евреемъ, крестьянами и полиціантомъ при смѣхѣ человѣкъ двадцати, глазѣвшихъ на эту сцену и подъ руку съ дамой ушелъ съ ярмарки.

Народъ толкуетъ о помѣщикѣ.

Къ вечеру ярмарка пустѣетъ, т. е. начинаютъ понемногу уходить торгаши, а изъ горожанъ ходятъ только солдаты, въ лавочкахъ кричатъ крестьяне: одни отъ радости, другіе отъ горя. Мѣстахъ въ десяти дерутся.

Снуютъ евреи.

— Продавай, чѣмъ назадъ итти! уговариваютъ они бѣдный оборванный и прозябшій народъ.

Идетъ дождь.

— Баба, хошь бы ты козу-то пожалѣла! хочешь злоты?

— Что ты! Два злоты!

— Бери злоты и два гроша.

Еврей даетъ деньги.

Ряды рѣдѣютъ; запрягаютъ воловъ; на площади раздаются пѣсни.

— Чего ты орешь, дядя Семенъ. Продалъ?

— Съ горя! ничего не продалъ; два злоты пропилъ.

— Батюшки! поглядите-ко, что это?—кажетъ женщина монету.

— Грошъ!

— Ой! не злоты?

— Грошъ! грошъ!

Народъ хохочетъ.

— Ну, гдѣ я его найду! Цѣлый день стояла; десять грошей проѣла и вдругъ продала козу за грошъ!—И баба заплакала.

Въ толпѣ хохотъ.

— Смотрите, сколько жидъ-то накупилъ козъ! Ахъ, чтобъ ему! крикнулъ крестьянинъ и поѣхалъ.

Около рва еврей загонялъ къ забору три десятка козъ, четыре быка и двѣ коровы, весело на-

свистывая и только помахивая руками на вопросы своихъ братій.

— Постойте! кричитъ полиціантъ, идя рядомъ съ крестьяниномъ. Не видалъ ли кто сумки съ деньгами?

— Много?

— Быка продалъ. Нужно оброки выплачивать. Ахъ бѣда! плакалъ крестьянинъ.

— Зачѣмъ зѣвалъ?

Телѣги тянутся съ площади по разнымъ направленіямъ. Въ нихъ сидятъ то веселые, то печальные; первые поютъ пѣсни, а то ругаются, вторые клянутъ свою судьбу и маклаковъ-евреевъ. Идетъ и полька назадъ. Корова едва переводитъ ноги. Дождь увеличивается.

— Говорилъ: продай, мамо, въ деревнѣ. Давали пятнадцать...

Мать плюнула въ сторону сына и утерла глаза полой пальто.

— Пани! пожалѣй скотину. Сколько просила?— спрашиваетъ вдругъ еврей, стоя въ дверяхъ шинка.

Полька остановилась, подумала и сказала: двадцать.

— Бери двѣнадцать... Да заходи сюда... Погрѣйся, коханая...

Еврей осмотрѣлъ корову, осмотрѣли корову двѣ еврейки; полька, оставивъ у коровы сына, вошла въ шинокъ, гдѣ и продала корову за тринадцать рублей и шесть злотыхъ. Выпила она крючекъ водки и молча вышла на улицу.

— Господи! до чего мы дожили... Прежде жиды кланялись мнѣ, теперь я имъ... проговорила вдругъ она и заплакала. Сынъ ничего не возразилъ. Полька пересчитала деньги, купила булку и, раздѣливъ ее съ сыномъ, поплелась по направленію къ крѣпости, нагоняемая и перегоняемая ѣхавшимъ съ ярмарки людомъ, до тѣхъ поръ, пока одинъ русинъ не сжалился надъ нею и не посадилъ ее съ сыномъ въ коробъ, рядомъ съ непроданнымъ теленкомъ.

Будни и праздникъ Янкеля Дворкина и его семейства.

(Очеркъ изъ современнаго быта евреевъ).

I.

Свѣтаетъ. На городской церкви часы пробили четыре. Тихо не только въ кривыхъ и грязныхъ, по случаю дождя, улицахъ и переулкахъ, но и на скверномъ, тряскомъ шоссе. Нигдѣ не видно ни одного человѣка, ни одной собаки. Да если посмотрѣть и во внутренность домовъ черезъ окна, не закрытыя снаружи ставнями, то и тутъ не увидишь ни одной живой души. Такъ и кажется, что въ этихъ сѣрыхъ и голубыхъ домахъ, съ высокими черепичными крышами или вымерло все, или спитъ.

А если бы пришлось въ это время пройтись по шоссе, раздѣляющему городъ на двѣ половины— прирѣчную и ярмарочную, или по улицамъ, идущимъ, справа къ рѣчкѣ Уху и слѣва къ полямъ; если бы, говорю я, пришлось пройтись въ это время жителю внутреннихъ губерній, онъ нашелъ бы большую разницу между уѣзднымъ городомъ, положимъ, губерніи приволжской и уѣзднымъ городомъ сѣверо-западнаго края. Такъ напримѣръ, здѣсь въ рѣдкомъ домѣ нѣтъ лавочки, и чѣмъ больше домъ, тѣмъ въ немъ больше лавокъ; но не надъ каждой лавочкой есть вывѣски, и только по сору и грязи около дверей и крылецъ можно заключить, что тутъ входъ въ лавку, а не простая дверь. Улицы и переулки кривые, и есть такіе узкіе, въ которыхъ двумъ телѣгамъ нельзя разъѣхаться. Поперекъ каждой улицы и каждаго переулка перекинуты за столбы проволоки, которыя отличаются отъ телеграфной тѣмъ, что нѣкоторыя изъ нихъ витыя, а нѣкоторыя опустились до того, что на серединѣ дороги задѣваютъ за коровьи рога. Еще на шоссе, ближе къ церкви и къ полиціи, можно замѣтить кое-какую чистоту передъ каменными двухъэтажными домами, построенными вплотную, но за ними, чѣмъ дальше внутрь, тѣмъ больше грязи; нигдѣ нѣтъ ни тротуаровъ, ни мостовъ, а если гдѣ около домовъ и замѣтна мостовая, то камни исчезаютъ съ такою же быстротою, съ какою они и привозились.

Да и что говорить про улицы и дома, когда даже самая полиція окружена большою лужею, и чтобы пройти къ ней, нужно имѣть большой навыкъ держаться около самыхъ домовъ, да и то не иначе, какъ цѣпляясь за оконныя рамы, доски и углы, чтобы не поскользнуться и не попасть въ лужу. Ужъ если изъ двора этой полиціи пахнетъ круглый годъ разными нечистотами, то и говорить нечего о зловоніи, исходящемъ изъ каждаго обывательскаго двора, каждыхъ дверей и каждаго угла.

Пятый часъ утра, а во всемъ городѣ ни стука, ни звука, ни шороха. Только рѣдкій дождикъ то-и-дѣло помачиваетъ крыши, мостовыя. И грязь, и дождь непріятно дѣйствуютъ на человѣка, да и кому охота въ такую погоду и такъ рано бродить по городу, тѣмъ болѣе, что вчера былъ шабашъ, въ который евреи довольно нагулялись?

Но вотъ вышелъ изъ одного переулка еврей невысокаго роста, съ длинною сѣдою бородою, сгорбившійся, съ большими сѣрыми глазами, желтымъ лицомъ, со множествомъ маленькихъ бородавокъ, на которыхъ росли сѣдые волосы, съ длиннымъ, загнувшимся немного книзу носомъ, большими черными бровями и большими ушами, съ остриженнымъ затылкомъ и съ длинными, доходящими до бороды пейсиками. На немъ надѣто суконное пальто съ огромными пуговицами, пальто старое, продранное, съ нѣсколькими заплатами и весьма порыжѣвшее отъ времени; на головѣ высокая фуражка съ приплюснутымъ верхомъ къ затылку, изъ-подъ которой виднѣлась ермолка; на ногахъ большіе сапоги. Онъ несъ на спинѣ огромный мѣшокъ, набитый разными вещами, которыя какъ будто хотѣли выскочить изъ него, издавая

дребезжащій звукъ, когда старикъ одною ногою ступалъ въ лужу, при чемъ мѣшокъ сваливался и приклонялъ старика къ землѣ. Большого труда стоило старику приладить мѣшокъ, потому что горбъ не желалъ имѣть около себя непріятнаго сосѣда, упирающагося въ него чѣмъ-то острымъ и давящимъ. Еврей вошелъ въ грязную улицу. И здѣсь тишина; мало этого, даже во многихъ домахъ окна закрыты ставнями.

Домъ, во дворъ котораго вошелъ еврей, выходилъ на улицу двумя окнами посерединѣ и двумя дверьми по бокамъ, запертыми на простые висячіе замки; но надъ ними не было вывѣсокъ. По обѣ стороны дома на углахъ прибиты дощечки, означавшія владѣльцевъ, такъ что налѣво значилось: хозяинъ Янкель Дворкинъ съ семействомъ, и хотя на обѣихъ дощечкахъ значилось *жильцы*, но ни именъ, ни фамиліи жильцовъ не написано. Стѣны дома, какъ и сосѣднихъ домовъ, обиты досками, штукатурка съ которыхъ давнымъ давно повыпала во многихъ мѣстахъ. Домъ крытъ черепицею, почернѣвшею уже отъ времени. Узкая, низкая калитка вела въ узкое, темное, грязное пространство, называемое дворомъ.

Налѣво домъ, не обшитый досками, съ двумя окнами, съ такими тусклыми стеклами, что сквозь нихъ развѣ можно увидать только огонь ночью, а никакъ не разглядѣть днемъ что-нибудь; направо черная бревенчатая стѣна сосѣдняго дома. Дальше, за угломъ дома, налѣво, крыльцо. По обѣимъ сторонамъ крыльца по одному окну съ выкрашенными желтою краскою косяками, съ разбитыми стеклами. Противъ крыльца шагахъ въ пяти, флигель съ двумя окнами. Изъ трубы этого флигеля шелъ дымъ. Направо и налѣво, по обѣимъ сторонамъ флигеля, построены изъ досокъ помѣщенія для коровы, лошади, свиней, и разныя клѣтушки, загроможденныя всякими вещами; тутъ есть кадушки, горшки, мочало, фурманка, колеса и т. п. Отъ этихъ пристроекъ, кажется, такъ тѣсно, что едва ли во дворѣ можно сдѣлать оборотъ съ лошадью, запряженною въ фурманку. Еврей вошелъ во флигель.

Въ большой избѣ, съ сѣро-желтыми стѣнами, грязнымъ поломъ, по угламъ котораго валяются засаленныя корки хлѣба, какія-то грязныя вонючія тряпицы и другой хламъ, которому приличнѣе было бы валяться во дворѣ, находилась большая печь. Налѣво, въ углу передъ окномъ, стоитъ большой деревянный столъ, окрашенный желтою краскою; на немъ доска съ тѣстомъ, которое катаетъ дѣвушка лѣтъ пятнадцати съ черными волосами, черными глазами и съ синяками на лбу, локтяхъ и шеѣ. Надъ скамьей, стоящей около стѣны, висятъ на бичевкахъ вѣсы. Между узенькими дверьми, идущими куда-то въ темное пространство, ничѣмъ не занавѣшенное, лежитъ на полу горбатая старушка, и спятъ два мальчика и одна дѣвочка; передъ печкою сидитъ на табуреткѣ еврей—лѣтъ сорока, средняго роста съ рыжей бородой и волосами, не остриженными на затылкѣ и съ коротенькими пейсиками. Онъ въ ермолкѣ, жилеткѣ, ситцевой рубашкѣ съ продравшимися локтями, въ тиковыхъ загрязненныхъ, засаленныхъ брюкахъ и калошахъ. Онъ такъ сосредоточенно смотритъ на огонь, что ему какъ будто нѣтъ никакого дѣла до оханья старухи, до курицы, бродящей около него и старающейся что-то достать съ пятки, высунувшейся изъ-за спадывающей калоши, до писка, раздающагося изъ темнаго пространства; даже когда вошелъ еврей старикъ, онъ только взглянулъ на него и попрежнему продолжалъ смотрѣть въ печь.

Старикъ сбросилъ мѣшокъ на скамейку и сѣлъ около него, не скидая фуражки. Погладивъ бороду, онъ посмотрѣлъ сурово на дѣвушку, на тѣсто, на вѣсы и, упершись обѣими ладонями въ подбородокъ, сталъ смотрѣть на курящаго передъ печкой еврея. Молчаніе длилось съ четверть часа и только прерывалось кашлемъ и оханьемъ старухи, пискомъ ребенка изъ темнаго пространства и стономъ одного изъ мальчиковъ. Оба еврея на все это какъ будто не обращали вниманія.

— Несчастный я человѣкъ!.. Несчастный...— проговорилъ старикъ, качая головой, такимъ голосомъ, что другой еврей широко раскрылъ глаза и сталъ глядѣть на него, засунувъ трубку въ карманъ брюкъ.

— Что?—спросилъ онъ тоже по-еврейски старика.

— Контрактъ сожегъ.

Другой еврей вскочилъ, подбѣжалъ къ старику и нагнувшись произнесъ во все горло отчаянно:

— Ужели?!

— Изорвалъ... сожегъ... аренду другому передалъ.

— Ай!! а-а-ай!!! — завопилъ младшій еврей, выпрямляясь, подхвативъ животъ обѣими руками и покачиваясь всѣмъ туловищемъ. Ему вторила появившаяся изъ темнаго пространства, съ ребенкомъ у груди, молодая еврейка съ черными глазами, съ бритой головою, на которой былъ надѣтъ парикъ, безобразившій и безъ того некрасивое ея лицо.

На полу около ребятъ уже сидѣла старуха, тоже въ парикѣ, съ большими точно оловянными глазами и черными бровями. Она тупо глядѣла то на старика, то на молодого еврея. Находящіяся въ этой избѣ лица: старикъ еврей Янкель Дворкинъ, отецъ младшаго еврея Шмуля; молодая женщина съ ребенкомъ—Малка, жена Шмуля Дворкина; спящіе—принадлежатъ къ семейству Шмуля, старуха—жена Янкеля, черноватая же дѣвушка—Лея, работница Шмуля.

Дѣло состояло въ томъ, что Янкель три года арендовалъ у одного чиновника нѣсколько десятинъ земли, платя ему всегда исправно деньги, потому что чиновникъ занималъ видное мѣсто. Янкель уже отъ себя эту землю отдавалъ въ аренду крестьянамъ. Но на прошлой недѣлѣ его вызвалъ къ себѣ чиновникъ и потребовалъ контрактъ, не засвидѣтельствованный, впрочемъ, ни въ какомъ присутственномъ мѣстѣ. Получивши контрактъ, онъ тотчасъ же бросилъ его въ печь. Янкель кинулся съ крикомъ за контрактомъ, но только ожегъ руки,

такъ какъ бумагу разомъ обхватило пламенемъ. Янкелю еще восемь мѣсяцъ слѣдовало пользоваться землей на томъ основаніи, что имъ деньги были внесены впередъ, чиновникъ позвалъ изъ сосѣдней комнаты гостей и объявилъ Янкелю, что онъ землю передалъ на аренду другому, а на него, Янкеля, будетъ жаловаться за то, что онъ землю испортилъ и вырубилъ много лѣсу. Янкель сталъ просить деньги, но его вытолкали.

Сѣтованія продолжались съ полчаса; говорили всѣ, кромѣ Леи, которая уже садила въ печку булки. Но дѣльнаго не выходило; Янкель злился на всѣхъ, и вдругъ приказавши Леѣ зажечь двѣнадцатириковую свѣчку, взялъ узелъ, и, наклонившись низко, пролѣзъ узкими дверьми въ темное пространство. Это былъ сырой, холодный, душный чуланъ, въ которомъ едва мерцалъ свѣтъ отъ двѣнадцатириковой сальной свѣчи. Здѣсь былъ сдѣланъ каменный полъ. Налѣво стояла кровать, надъ которою висѣла люлька. Въ углу, противъ кровати, находился небольшой столъ, съ накладенными на немъ разною мѣдною и оловянною посудою, картинами въ рамкахъ съ разбитыми и не разбитыми стеклами, банками разныхъ величинъ. Напротивъ кровати и стола, около стѣны, стояло два большихъ шкафа простой работы, не окрашенные никакой краской. На полу валялись женскій башмакъ, чулокъ съ иголками и клубкомъ бѣлой шерсти, ломоть чернаго хлѣба, уже заплѣсневѣлый, и разный хламъ.

Янкель воткнулъ свѣчку въ стоявшій на столѣ подсвѣчникъ и сталъ искать въ одномъ изъ шкафовъ.

— Малка!—крикнулъ громко Янкель.

Малка вошла въ комнату.

— Гдѣ ключи? кто бралъ ключи отъ шкафа?

— Я брала.

— А кто тебѣ позволилъ брать ихъ! Гдѣ они?

Малка положила ребенка въ люльку и стала искать ключи на кровати.

— Я говорилъ, чтобы никто не смѣлъ прикасаться къ шкафамъ? Кому я говорилъ? — и старикъ ударилъ по уху Малку.

— Что дерешься-то! Развѣ я воровка!

— Ты зачѣмъ ключи взяла? зачѣмъ?—закричалъ подбѣжавшій къ Малкѣ мужъ ея, и сталъ ее хлестать веревкой.

— Не ты ли ходилъ въ угловой шкафъ! Не ты ли велѣлъ ключи спрятать?

— Когда? когда это было?

— Собаки! И за что это на меня напасть, такая, будьте вы прокляты!

Съ этими словами Малка убѣжала во дворъ съ крикомъ:

— Лея взяла! Работница! Тѣшьтесь надъ ней!..

Во дворѣ бродили свиньи, и въ калиткѣ стояла корова. Малка отъ злости подняла палку и швырнула ею въ одну свинью.

— Зачѣмъ ты мою-то свинью бьешь!—крикнула женщина, только что вышедшая изъ одной клѣтушки. Еврейки заголосили и долго бы прокричали, если бы изъ избы вдругъ не послышался крикъ и плачъ ребятъ и неистовая ругань Шмуля Дворкина.

— Дьяволы!—кричалъ Шмуль и толкалъ ребятъ вонъ изъ избы, откуда вслѣдъ за ребятами бѣжала Лея. Волосы ея были всклокочены, изъ носу сочилась кровь. Она, какъ одичалая, подошла къ калиткѣ, и захвативши носъ подоломъ платья, стала глядѣть на улицу. Малка вошла въ домъ. Маленькія тѣсныя сѣни имѣютъ три входа въ домъ: прямо, направо и налѣво. Въ правомъ отдѣленіи съ двумя окнами, выходящими на улицу, помѣщается самъ Янкель Дворкинъ; въ другой половинѣ налѣво, принадлежащей его умершему брату Михелю Дзоире, живетъ его племянникъ Гирша Дворкинъ; въ третьей половинѣ, рядомъ съ лавочкой, живетъ сестра жены Шмуля Дворкина, Сарра Бульковская.

Малка пошла направо къ Саррѣ. У Сарры помѣщеніе состоитъ изъ кухни и лавочки. Въ кухнѣ Сарры немножко чище, и даже полъ кажется мытымъ разъ въ мѣсяцъ. Кромѣ Сарры и дѣвочки годовъ четырнадцати, которая помогала теперь Саррѣ сортировать водку, разбавляя ее водой съ прибавкою ревеня, соды и масла,—въ этой половинѣ никто не жилъ. Сарра, пожилая, здоровая женщина, съ некрасивымъ лицомъ и съ безобразнымъ парикомъ то-и-дѣло поднимала кверху бутылки съ разбавленною водкою, и нюхала. Удостовѣрившись, что водка хороша, она велѣла Хаѣ отнести бутылки въ лавочку и ставить ихъ на полки, на которыхъ не было ни полуштофовъ и никакой другой мелкой посуды. Водка, кромѣ бутылей, хранилась въ пятиведерныхъ бочонкахъ, съ казенною печатью, и эти бочонки стояли у выручки, въ углу, подъ шкапикомъ, съ стеклянными дверцами, сквозь которыя виднѣлись стаканчики, графинчики и картонная коробочка съ мѣдными польскими деньгами. Самая лавочка могла вмѣстить въ себѣ много-много человѣкъ десять, но стѣны ея были побѣлены, а на стѣнѣ, противоположной шкапику, висѣли даже два портрета въ рамкахъ и подъ стеклами.

Малка по приходѣ въ саррину кухню сѣла къ столу и заплакала. Саррѣ некогда было утѣшать ее; только дѣвочка порывалась нѣсколько разъ подбѣжать къ ней, но Сарра громко вскрикивала на нее, заставляя напередъ кончить, что слѣдуетъ. По окончаніи разливки, Сарра подошла къ Малкѣ, сѣла къ столу съ другой стороны и стала утѣшать.

— Не плачь, Малка; слезами не поможешь... Пройдетъ. Въ который разъ?

— Ой! жизнь моя проклятая!

— Не всегда же они бьютъ тебя! Полно... Твоя жизнь не Леина жизнь.

— Охъ, кабы ты знала—горько! Мать больная, ребенокъ... все дѣлай... И въ управленіе иди, и подъ филяры иди... и рыбой торговать иди...

— Экая важность! У меня у самой куча ребятъ, да я вездѣ успѣваю, — проговорила вдругъ вошедшая Гитля, жена Гирши Дворкина.

— Полно-ка, Гитля! Охота тебѣ ее растравлять. Ты бы пожила...

— Не говори—живала!.. Дай-ка мнѣ два злота—послѣ отдамъ.

— Ты куда?

— Пойду въ управленіе—долги сбирать.

— Получили развѣ жалованье?

— Надо-быть, получили. Вчера двухъ офицеровъ видѣли: забирали снова и долги платили.

— Малка! будь такъ добра, посиди за меня, я схожу въ управленіе,—сказала Сарра Малкѣ.

— Съ удовольствіемъ бы, Сарра, да самой надо въ управленіе и въ команду.

— Да у тебя развѣ много?—спросила Гитля.

— Рублей двадцать пять.

— О! стоитъ! эти деньги невеликія. Посидишь?

— Нѣтъ—некогда. Пойду...

— Хорошо! вспомнишь мою просьбу... Ступай! Пусть, еще хорошенько поколотятъ!!

Малка плюнула и вышла.

— Какова!—сказала Гитля и пожала плечами.

— Гордячка! Ну, да эту спѣсь-то выбьютъ изъ нея. Присядь!

— Однако, дай-ка два злота? Да не говори старику-то...

— Будто я не имѣю своихъ денегъ?

— Не то... А такъ!.. У васъ съ нимъ все на открытую.

— Это ты къ чему опять завела?

— Ну, полно—дай!

— Нѣтъ—ты меня обидѣла!

— Матушка, Сарра, голубушка!.. Я такъ.

— То-то! говори, да прикусывай языкъ-то. Я, можетъ быть, больше кого знаю, да и тутъ молчу.

— Какъ?

— Ничего!

— Смотри, чтобы намъ до ссоры не дойти.

— Ловка! сама не задирай.

Сосѣдки разошлись, какъ ни въ чемъ не бывало, но всякій бы замѣтилъ, что разставаясь, онѣ не смотрѣли въ глаза другъ другу.

III.

Посмотримъ на обиталище Гирши Дворкина.

Маленькая квадратная комната съ двумя окнами во дворъ, устроена между лавкою и спальнею. Потолокъ съ тремя балками обѣленъ; стѣна ко двору оштукатурена, но штукатурка во многихъ мѣстахъ обвалилась; стѣна напротивъ оконъ и стѣна къ спальной оклеена желтаго цвѣта обоями, которыя чѣмъ ниже къ полу, тѣмъ становятся сѣрѣе и, почернѣвъ, лохмотьями висятъ по угламъ и подъ небольшимъ клеенчатымъ диваномъ. Хотя въ каждой оконной рамѣ по четыре стекла, но, какъ замѣчено выше, сквозь нихъ видна только какая-то темная сплошная масса. Полъ здѣсь моется разъ въ годъ къ пейсаху (къ пасхѣ), и стоящій между печкою и стѣною голикъ служитъ единственнымъ способомъ для поддержанія чистоты и опрятности въ этой комнатѣ. Въ комнатѣ два шкафа,—одинъ большой, окрашенный черной краской, подъ лакъ, и употребляется для платья; другой, съ стеклянными дверцами вверху, служитъ для посуды. Въ углу между диваномъ и деревянной стѣной висятъ часы, о достоинствѣ которыхъ не можетъ сказать съ положительностью даже самъ Гирша Дворкинъ. Передъ посуднымъ шкафомъ стоитъ табуретка, простой маленькій столъ и два плетеныхъ стула. Надъ самой серединой комнаты, на потолкѣ, виситъ шандалъ—мѣдная старинная люстра для четырехъ очень тоненькихъ свѣчъ.

Дверь въ лавку заперта, но дверь или проходъ въ спальню даже не занавѣшивается, такъ что изъ лавочки видна постель съ высокой периной и подушками, покрытыми бѣлой простыней; но это постель парадная; супруги на ней рѣдко спятъ. Противъ постели такой же проходъ въ кухню, какъ и изъ комнаты въ спальню, съ тою разницею, что надъ нимъ сдѣлано подобіе шкафика, только безъ дверей, и въ этомъ шкафикѣ стоятъ разныхъ величинъ десятка три еврейскихъ книгъ въ переплетахъ и съ золочеными буквами на корешкѣ. О кухнѣ можно сказать, что она немного чище и опрятнѣе кухни Шмуля, и въ ней въ это время сидѣлъ Гирша Дворкинъ на постелѣ у печки, держа на колѣняхъ двухгодовалаго мальчика и разговаривая съ женою, которая ставила самоваръ. Передъ кроватью, у колыбели (мѣшка въ ясляхъ), дѣвочка пяти лѣтъ старательно чистила луковицу, кусала и ѣла ее, а мальчикъ девяти лѣтъ, съ черными кудрявыми волосами, босой и въ жилетѣ, вертѣлъ папироску. Гиршѣ годовъ тридцать-пять; лицо чистое, но сразу изобличающее типъ еврея: такой же крючковатый носъ, длинныя уши, маленькіе глаза и широкій ротъ; такая же на немъ грязная рубашка съ большими воротничками, которые падаютъ на плечи, такая же глухая жилетка безъ галстуха, такая же фуражка съ сплюснутымъ верхомъ на затылкѣ, такіе же пейсики, которые Гирша подкрашивалъ, чтобы они имѣли блескъ и подходили подъ цвѣтъ его черной небольшой бородки.

Супруга сообщила мужу о несчастіи Янкеля, но супругъ, повидимому, мало обращалъ вниманія на ея слова и сидѣлъ смотря въ уголъ. Вдругъ онъ всталъ, небрежно сунулъ ребенка на кровать, вырвалъ у дѣвочки луковицу и, толкнувъ ее, крикнулъ:

— Смотри! которую луковицу-то жрешь?

— Первую.

Гирша надѣлъ на себя длиннополый сюртукъ, съ двумя рядами пуговицъ, обшитыхъ чернымъ атласомъ, и, поправивъ фуражку на головѣ, ушелъ въ лавку. Принесши оттуда чернильницу, гусиное перо, счеты и положивъ все это на столикъ, онъ отворилъ шкафъ, въ которомъ, кромѣ приходорасходныхъ книгъ и разныхъ тетрадокъ, не было ничего. Гирша немного порылся въ книжкахъ и тетрадяхъ и досталъ одну изъ нихъ, по объему больше всѣхъ, а по наружному виду старѣе самого Гирши.

Хотя она и не была толста, но Гирша взялъ ее осторожно и одной рукой придерживалъ высунувшіеся изъ нея лоскутки бумаги. Эта была долговая книга семейства Дворкиныхъ, куда записывалась всякая вещь, взятая или на продажу, или

на храненіе такимъ-то членомъ семейства. Онъ досталъ еще другую книгу изъ шкафа и сталъ смотрѣть въ нее съ конца. Онъ повѣрялъ какую-то записку. Записка не сходилась съ книгой. Гирша задумался.

— Гитля!—крикнулъ онъ.

Явилась жена.

— Ты сколько на той недѣлѣ отпустила сѣна Ицкѣ Лерману?

— Записано—смотри.

— Да Ицко написалъ: взято отъ Петра Горячева пять пудовъ по два злота пудъ, а ты записала въ книгѣ пять пудовъ съ половиною на 1 р. 70 к.

— Ну, такъ что жъ такое?

— Не сходится.

— Ты сдѣлай, чтобы сошлось.

— Дура! Зачѣмъ ты росписку-то взяла? Развѣ слѣпа ты, что онъ ясно своей рукой написалъ, что и почемъ взято?

— Дай-ко сюда! И Гитля выхватила у Гирши записку, и доставши изъ кармана своего платья лоскутокъ бумаги съ огрызкомъ карандаша, и обмакнувъ карандашъ въ чернильницу, начала писать подъ роспиской. Все это она такъ скоро сдѣлала, что Гирша не успѣлъ произнести: погоди! какъ она уже сунула ему росписку почти въ зубы и сказала:

— Понялъ ли ты пустая голова! Жидъ еще! Хуже кацапа (русскаго).

— Нѣтъ, ты погоди...—проговорилъ обиженный мужъ и не торопясь сталъ повертывать росписку.

Гитля ушла.

Гирша нѣсколько разъ повертывалъ росписку и два раза прочиталъ вслухъ приписку жены: «отпущено къ этому вновь двадцать фунтовъ за 1 злотъ и 10 грошей».

— Вѣрно-то вѣрно... и подкопаться нельзя!.. А все же я тебя поймаю! Не буду я честный еврей, если я тебя сегодня же не словлю!

Гирша усѣлся, углубился въ повѣрку записокъ и счетовъ. Не сходится. Это его разозлило хуже, и онъ, вѣроятно, желая придраться къ женѣ, вошелъ въ лавку; но тамъ было все въ порядкѣ. Жена подошла къ проходу изъ спальни, заглянула въ комнату, хихикнула и ушла.

Гирша опять усѣлся, сталъ считать и вдругъ крикнулъ жену. Та вышла на этотъ разъ уже держа на рукахъ ребенка.

— Опять-таки перебору больше?

— Чьего перебора—не нашего ли?

— За Янкелемъ переборъ—за отцомъ!

— Ты съ него и проси.

— А кто ему даетъ? За нимъ и такъ давно значится пятьдесятъ-семь рублей. А вотъ зачѣмъ одиннадцать рублей зачеркнуты? Кто смѣлъ ихъ захерить?! И Гирша съ торжествомъ смотрѣлъ на жену.

— Что козлинную бороду уставилъ на меня?..

— Ну-у??

— А какія ты деньги взнесъ на той недѣлѣ въ общество!

— Ну?..

— Какія ты получилъ бумажки отъ Янкеля? Еще говорилъ мнѣ: вотъ я Янкелю далъ десять рублей только до вечера, а прошло ужъ два дня... Взялъ да и записалъ на него въ книгѣ одиннадцать руб... Вдругъ приходитъ Янкель и отдаетъ тебѣ: двѣ бумажки трехрублевыми польскими, три рублевыми да одинъ рубль мѣдными. И еще спросилъ: годятся ли мѣдные? Помнишь ли?

— Забылъ! Гирша взялъ фуражку, почесавъ затылокъ. Минутъ пять продолжалось молчаніе. Въ это время въ комнату вошелъ Янкель въ томъ же одѣяніи, въ какомъ утромъ домой пришелъ. Только теперь у него въ рукахъ была трость.

— Пойдемте чай пить,—сказала Гитля, и вышла.

— Ты мнѣ отдавалъ десять рублей?—спросилъ Гирша Янкеля, сѣвшаго на диванъ и положившаго подбородокъ на кулакъ, въ которомъ онъ держалъ палку.

— А?

— Кажется, ты не отдавалъ...

— Ну?—голосъ отца дрожалъ отъ злости.

— Нѣтъ... Я забылъ.

— То-то... То-то!—И отецъ съ яростью застучалъ палкой.

Гирша сложилъ осторожно бумаги въ книгу и и заперъ ихъ въ шкафъ.

— Дай-ко, Гирша, стаканъ водки... А эти десять рублей я тебѣ еще успѣю на спинѣ сосчитать.

— Забылъ... А знаешь, спросить слѣдуетъ.

Гирша досталъ изъ шкафика графинъ водки, которою и угостилъ отца. Потомъ пошли пить чай.

За чаемъ, къ которому пришли и Шмуль съ женою и съ булками, всѣ горевали объ Янкелѣ, и каждый что-нибудь ему совѣтовалъ, но Янкель больше молчалъ. Ребята терлись около нихъ, но ихъ отгоняли прочь. Изъ нихъ два мальчика изъ христіанъ уже расхаживали въ пальто, доходящихъ имъ до пятокъ, съ болтающимися длинными разодранными рукавами. Эти пальто отслужили уже взрослымъ и хотя на нихъ сукно болталось, кое гдѣ держась на подкладкѣ, а вата была вытащена частію на папиросы, они для мальчиковъ казались еще хорошимъ одѣяніемъ: на другихъ было еще хуже. На ногахъ ихъ были большіе сапоги съ выпавшими пятками и съ отверстіями, похожими на рыбій ротъ, на носкахъ... На головахъ у нихъ были надѣты фуражки, въ которыя могли свободно упрятаться ихъ головы и которыя поэтому сидѣли у нихъ на затылкахъ такъ, что бумажные разорванные козырьки торчали почти у каждаго на темяхъ. Оба мальчика скоро ушли на фабрики; Гирша съ Гитлею стали торопить свою дочь Берку итти подъ филяры съ калачами отъ Шмуля, а дѣти Шмуля — Азикъ былъ посланъ въ школу, а дочь Хая смотрѣть подъ филярами за работницею Фельдманъ, матерью Леи. Послѣ чая старикъ Янкель ушелъ въ чуланъ квартиры Шмуля, зажегъ свѣчку и сталъ вытаскивать изъ мѣшка вещи. Въ мѣшкѣ были: самоваръ, образъ въ серебряной ризѣ, шкатулка мѣд-

ный утюгъ, пальто мужское, сапоги. Всѣ эти вещи онъ спряталъ въ шкафы, въ которыхъ уже было много другихъ вещей, взятыхъ въ залогъ за деньги или за долги. Гитля и Малка разошлись по городу; Гирша сталъ отпирать лавку, Шмуль отпускалъ бѣднымъ еврейкамъ для продажи на книжку калачи. Сарра уже прилаживала вывѣску надъ шинкомъ, гласящую: «Заѣзжій домъ, продажа водокъ, пива и меда!».

IV.

Отецъ Янкеля былъ человѣкъ бѣдный, не имѣвшій даже своего дома, но человѣкъ все-таки здоровый, крѣпкій, привыкшій къ побоямъ, грязи, зною и холоду. Во всякое время года онъ носилъ одинъ несмѣняемый кафтанъ, тратилъ на кушанье, какъ и всѣ евреи, очень немного, не заботился о хорошемъ воздухѣ и не дорожилъ ничьимъ мнѣніемъ, а старался изо всего извлекать хоть крохотный барышъ, еслибъ даже для этого пришлось предпринять путешествіе за сто верстъ. Онъ мечталъ только объ одномъ, чтобы дѣти его забрали къ себѣ въ руки торговлю во многихъ городахъ. А дѣтьми его Богъ не обидѣлъ.

Отецъ всю надежду возлагалъ на первенца — Янкеля, и поэтому не давалъ ему потачки. Школа терпѣнія и труда была такъ велика, что Янкель на десятомъ году былъ измученнымъ мальчикомъ, такъ что даже самъ отецъ подумывалъ, какой бы избрать ему родъ занятій, чтобы онъ поправился и не умеръ. Отцу было самому жаль мальчика, потому что мальчикъ сносилъ всякія непріятности и лишенія молчаливо, умѣлъ читать и писать по-еврейски и по-польски, и уже понималъ, какую изъ такой-то вещи можно извлечь выгоду. Такая выучка и жизнь среди людей породили въ маленькомъ Янкелѣ страсть къ пріобрѣтенію, или, какъ говорится на народномъ языкѣ,—хапанію. Это нравилось отцу; онъ радовался, что у него сынъ молодецъ и не пропадетъ. Одно не нравилось—это то, что Янкель ненавидѣлъ своихъ братьевъ и сестеръ и съ пріемнымъ сыномъ, взятымъ на случай отдачи его въ рекруты за Янкеля, обращался вполнѣ по-хозяйски: билъ, наговаривалъ на него, обкрадывалъ. Поэтому отецъ отдалъ Янкеля на фабрику, изъ которой за работу сына исправно получалъ каждую недѣлю два злота. Фабрика находилась отъ города въ пяти верстахъ; туда нужно было ходить пѣшкомъ каждый день; работа была не по дѣтскимъ силамъ и сидячая; зато общество товарищей пришлось по душѣ ему; тутъ была школа, въ которой общество изощрялось на разныя продѣлки, строило разные планы въ будущемъ. Рабочіе видѣли въ приказчикахъ мошенниковъ, приказчики считали рабочихъ ворами. Впрочемъ, на этой фабрикѣ Янкель пробылъ недолго, потому-что Янкель сталъ заниматься факторствомъ во вредъ хозяину, и хозяинъ прогналъ его. Отецъ тоже не пустилъ его къ себѣ. И сталъ Янкель мыкаться по городамъ и селамъ, а такъ-какъ всѣ ремесла въ этомъ краѣ находились тогда и теперь находятся въ рукахъ евреевъ, Янкель же былъ мальчикъ толковый, усердный, то дѣло онъ имѣлъ всегда и къ семнадцатилѣтнему возрасту уже обладалъ капиталомъ около пятидесяти рублей. Жизнь на посылкахъ не нравилась Янкелю, но открыть за свой счетъ какую-нибудь порядочную торговлю онъ не могъ, потому-что былъ все-таки мальчикъ и не пользовался такимъ довѣріемъ, какъ люди взрослые. Чтобы заняться факторствомъ нужно было имѣть друзей, а друзей онъ не могъ выбрать, потому что въ городѣ, гдѣ онъ жилъ, существовалъ раздоръ между двумя партіями: волынцами и литвянами. Обѣ партіи грызлись изъ-за того, что видѣли помѣху другъ въ другѣ; литвяне, или литовцы, были превосходнѣе числомъ волынцевъ; вся торговля, фабрики, школы были въ рукахъ литовцевъ. Литовцы хвастались ученостью, имѣли большую протекцію; волынцы же за небольшими исключеніями, только были рабочими, торговали по мелочамъ и жаловались на литвянъ, что тѣ отдѣляются отъ закона Моисеева. И все-таки Янкель поступилъ на службу приказчикомъ къ богатому купцу изъ волынцевъ. Здѣсь онъ скоро понялъ, какъ можно извлекать доходъ отъ казны, какъ можно нажиться отъ найма рабочихъ, какъ можно зашибить копейку недодачей рабочимъ жалованья... Но и тутъ не привелось ему накопить много денегъ. Съ нимъ случился скандалъ: Янкель полюбилъ хозяйскую племянницу Сарру, которая и его полюбила, но хозяинъ уже предложилъ ея руку своему родственнику, богатому человѣку. Стали замѣчать, что Сарра и Янкель по вечерамъ отлучаются куда-то изъ дома и услѣдили за ними. Гвалтъ вышелъ ужасный. Чуть не весь городъ сбѣжался на позорище. На Сарру плевали, кидали каменья и загнали къ рѣкѣ, куда она бросилась, и разбила себѣ голову. Но и тутъ толпа съ яростію требовала, чтобы ее вытащили изъ воды и отдали на поруганіе всему городу. Янкеля избили и посадили въ тюрьму за кражу денегъ у хозяина. Изъ тюрьмы Янкель скоро выкарабкался, но зато трудно ему быто найти себѣ мѣсто. Его не принимали никуда, и онъ скитался года два за границей.

Между тѣмъ Янкель услышалъ, что въ томъ городѣ, гдѣ онъ родился, начинаются преобразованія по военной части. Онъ сообразилъ, что отъ разныхъ подрядовъ можно скоро разжиться, и поѣхалъ. Отецъ принялъ его сухо и, разузнавъ, что у него есть деньги, сказалъ: ну, теперь ты самъ можешь быть хозяиномъ. Времени упускать не надо и денегъ жалѣть не слѣдуетъ; каждую копейку ты втройнѣ воротишь, если не будешь робѣть. Я тебѣ не дамъ ни гроша, потому что самъ ни отъ кого помощи не получалъ. Знай правило, что вѣкъ за себя долженъ стараться!

— Отецъ! я тебя сто разъ проведу, если ты мнѣ довѣришь что-нибудь!—сказалъ Янкель отцу.

— Знаю... И поэтому я тебѣ не довѣряю ни въ чемъ, и ты на меня не надѣйся.

Янкель не разсчитывалъ на отца. Янкель былъ мужчина 25 лѣтъ и ни за что не рѣшился бы принять отъ отца подачку.

— Отецъ, могу я быть здѣшнимъ гражданиномъ? —спросилъ сынъ отца послѣ нѣкотораго раздумья.

— Гражданиномъ? Много ли у тебя денегъ?

— Это мое дѣло.

— Хорошо... Если ты хочешь жить и работать, тебѣ дадутъ землю.—Но можешь ли ты въ годъ построить домъ?

— Развѣ, отецъ, я не могу объ этомъ самъ хлопотать?

— Подумай о твоемъ скандалѣ!

Сынъ вскочилъ, схватилъ трость и пошелъ, но отецъ остановилъ его.

— Янкель, не торопись—успѣешь: ты еще молодъ; ты еще горба себѣ не нажилъ. Я тебѣ оставлю капиталъ послѣ смерти... Прочія дѣти меня не послушались; сестры и племянницы пошли не по намъ... Благословляю тебя—иди и добывай себѣ средства. Но чтобы проклятія евреевъ не было надъ твоею головою.

Отецъ обнялъ сына и поцѣловалъ.

Пять лѣтъ, пять тяжелыхъ лѣтъ прошло въ хлопотахъ. Янкель, потерявшій отца и получившій мѣсто для дома, имѣлъ занятія такого рода, что могъ жить не бѣдно. Сначала онъ занялся подрядами, но его такъ нарѣзали, что онъ долженъ былъ бросить это занятіе и взяться за факторство. Въ то время на громадныя военныя постройки ассигновывалось по нѣскольку сотенъ тысячъ въ годъ. Заключали контракты съ казной на постройку зданій богатые купцы-евреи и помѣщики-поляки, но помѣщики-поляки скоро оказались должниками евреевъ, потому-что не умѣли беречь деньги, и евреи забрали въ свои руки всѣ подряды. Русскихъ же въ то время въ городѣ не было, а строители были нѣмцы. Поэтому бѣднымъ евреямъ можно было биться только около подрядчиковъ и строителей.

Янкель самъ не могъ заключать съ казной подрядовъ, потому что у него не было большого капитала, и онъ за взятіе подряда не могъ платить большихъ суммъ чиновникамъ. Поэтому, онъ брался за небольшія поставки, занимался факторствомъ, разсчитывалъ рабочихъ, давалъ въ долгъ деньги. Черезъ двадцать лѣтъ послѣ смерти отца, онъ имѣлъ уже въ городѣ домъ, лавки и большое семейство.

Дѣти Янкеля—мѣщане. О прошедшемъ ихъ житьѣ сказать нечего, такъ-какъ они такъ же выходили въ люди, какъ и Янкель.

Съ отцомъ живетъ только Шмуль, два сына живутъ въ другомъ городѣ. Гирша Дворкинъ, племянникъ, живетъ потому въ домѣ Янкеля, что дядя видитъ въ немъ хорошаго помощника, да и Гиршѣ самому нравится жить съ дядей, потому-что онъ подумывалъ послѣ смерти Янкеля забрать весь домъ съ флигелемъ къ своимъ рукамъ. Гирша имѣетъ подъ филярами (гостиный дворъ) свою лавку, въ которой работница-еврейка, при надзорѣ его жены, торгуетъ горшками. Но главный родъ его дѣятельности заключается въ томъ, что онъ трется около чиновниковъ. Что касается до Шмуля, то онъ торгуетъ въ лавкѣ отца подъ филярами же, и кромѣ того печетъ для продажи булки, за которыми торговки приходятъ сами. Какъ у Гирши, такъ и у Шмуля живутъ въ семействахъ по мальчику-христіанину, купленному у бѣдныхъ крестьянъ очень дешево. Теперь они работаютъ на фабрикахъ, а потомъ ихъ сдадутъ въ рекруты за дѣтей Гирши и Шмуля.

V.

Лавка Гирши небольшая, и четыремъ человѣкамъ въ ней тѣсно, но зато чего-чего въ ней нѣтъ. На полкахъ лежатъ ситцы, коробки разныхъ величинъ со всякою всячиною, которую нескоро перечтешь и нескоро опишешь. Тутъ есть всякіе товары. Спросите Гиршу, есть ли у него фарфоровыя чашки, онъ не задумавшись отвѣтитъ: «прямо съ Китаю» и непремѣнно будетъ рыться въ коробкахъ подъ полками. У него есть сахаръ разныхъ фабрикъ, и ничего не значитъ, что въ лавкѣ стоятъ на виду только двѣ головы сахару, — онъ разыщетъ и десять. У лѣвой стѣны, на лавкахъ лежатъ больше цѣнные товары — ситцы, ножи, коробки, духи и т. п.; противъ выходныхъ дверей, вмѣстѣ съ еврейскими и нѣмецкими книгами, лежатъ коробки, свертки, зеркала, щетки; направо—всякая всячина: посуда, бумага, чернильницы, веревки, табакъ. Поперекъ лавки на веревочкѣ висятъ крендели, желѣзныя трубы для самоваровъ, сита, двадцатириковыя сальныя свѣчки, какой-то узелокъ въ грязной тряпицѣ. У выручки и у выходныхъ дверей стоитъ по табуреткѣ. На дверяхъ приклеены: правила о продажѣ табаку и объявленіе, что говорить по-польски строго воспрещается.

Гирша досталъ изъ-за выручки небольшую желѣзную вывѣску и вытащилъ ее на крылечко, куда и поставилъ бокомъ. Это означало, что Гирша открылъ торговлю, и что сегодня у него есть особенный товаръ, какого ни у кого не купить въ городѣ; поэтому и вывѣска поставлена бокомъ. Затѣмъ онъ сталъ приводить лавку въ лучшій видъ. Такъ, напримѣръ, вытащилъ изъ угла двѣ головы сахару и поставилъ ихъ на выручку, принесъ изъ кухни самоваръ и его тоже поставилъ на выручку, смёлъ кое-откуда гусинымъ перомъ пыль, и затѣмъ, повѣсивши за двери большой подносъ лицомъ на улицу, чтобы нарисованная на подносѣ картина привлекала публику, сѣлъ къ дверямъ и сталъ ковырять тростью, глядя по сторонамъ.

Грязная улица теперь имѣла совсѣмъ другой видъ, чѣмъ въ четыре и въ пять часовъ утра. Двери лавокъ вездѣ уже отворены, и около крылецъ и дверей стояли на мостовой вывѣски деревянныя и желѣзныя, гласящія, что тутъ заѣзжій домъ, тамъ берутъ красить, тутъ продажа питій и т. д. Въ каждой лавкѣ или суетилась пожилая женщина въ парикѣ и безъ платка на головѣ, или вязала чулокъ дѣвица въ ситцевой юбкѣ и кофточкѣ, въ кринолинѣ и въ сѣткѣ на головѣ и тараторила громко съ кѣмъ-то, или выходили мужчины съ рыжими и черными бородами, въ длинныхъ сюртукахъ, въ фуражкахъ и, упираясь въ

палки, глядѣли бойко по сторонамъ. У нѣкоторыхъ лавокъ появились горшки, ведра съ дегтемъ, ведра поломанныя, желѣзные обручи и другой хламъ; рѣшета съ бѣлымъ хлѣбомъ, или булками, яйцами, чеснокомъ, гнилыми или незрѣлыми грушами, сливами и яблоками. Около всѣхъ этихъ предметовъ или сидѣли, или толкались женщины и дѣвушки съ какой-нибудь работой или съ горшками, изъ которыхъ онѣ брали пальцами сухой сочень, обмакнутый въ макъ, т. е. ѣли мацу. Ближе къ рѣкѣ появились грязныя вонючія кадки съ свѣжей и гнилой рыбой, около которой суетились торговки, но покупателей еще не было. Въ одномъ мѣстѣ стоитъ еврей точильщикъ съ станкомъ и отъ нечего дѣлать вертитъ кругъ; въ другомъ—еврей старикъ-горбачъ стоитъ у столика и, поглядывая на лавочки, отпираетъ и запираетъ столикъ; но никто нейдетъ мѣнять денегъ къ старику. Тоска пробираетъ торговцевъ.

Но вотъ ѣдетъ крестьянинъ-полякъ въ сѣрой изъ войлока безъ полей шляпѣ, съ длинными какъ у провинціальнаго дьячка волосами, въ сѣромъ зипунѣ, на плечи котораго падаютъ грязные воротнички рубахи, и съ сумкою на спинѣ. Онъ сидитъ въ телѣгѣ, сложивши ноги калачикомъ, и покуривая изъ коротенькой пипки (трубки) махорку, потряхиваетъ головой. То-и-дѣло постегиваетъ онъ прутикомъ пару тощихъ воловъ, крича: нно-о! тю!! Сзади телѣги идетъ корова на привязи.

— Яковъ! кричитъ одинъ еврей и снимаетъ фуражку.

Крестьянинъ поднимаетъ свою шапку и гонитъ воловъ дальше.

— Богатъ сталъ! рожи не воротитъ!—кричитъ молодая еврейка изъ табачной лавочки.

Крестьянинъ что-то мычитъ.

— Прошу, панъ!... Заходи!—кричитъ еврей изъ шинка.

— Во! своя есть,—говоритъ крестьянинъ, улыбаясь и встряхивая кожаную сумку.

— Колбаса есть! свѣжая...—кричитъ еврейка, подбѣгая къ телѣгѣ.

— Ни тшеба!—мотаетъ головой крестьянинъ.

— Продавать ведешь корову-то?—кричитъ Гирша, а Сарра въ это время подходитъ къ лужѣ и копается въ ней.

— Покажи-ка корову-то?—обступая корову говорятъ евреи и еврейки.

— Чего казать?

— А долгъ-то привезъ ли?

— Кому? Все заплачено.

— Ахъ ты!!

Евреи ругаютъ крестьянина; не успѣлъ онъ немного отъѣхать, какъ одно колесо уже завязло въ ямѣ, находящейся въ лужѣ. Это заняло евреевъ и евреекъ.

— Жиды проклятые!.. Зачѣмъ вы тутъ яму сробили?..

Между тѣмъ появляются покупатели, и евреи зазываютъ ихъ.

— Прошу, пани; прошу! Что пану нужно? Ваше благородье! пожалуйте...—кричатъ съ одной стороны.

— Табакъ, гильзы есть! Бумага, сургучъ! самые заграничные! — кричатъ съ другой стороны.

Вся улица огласилась крикомъ; ничего нельзя разобрать; даже и тѣ, которые не принадлежали къ торговому классу, кричали. Даже часовой мастеръ, очень приличный еврей, какъ будто испугавшись чего, вышелъ изъ своего магазина, и, держа въ лѣвой рукѣ часы, вѣжливо спросилъ проходящаго чиновника:

— Не желаете ли часы пріобрѣсти?

— Нѣтъ, не желаю,—сказалъ тотъ.

Еврей мастеръ пошелъ за чиновникомъ.

— Можетъ быть, завести?.. поправить... — говорилъ робко мастеръ.

— Что ты меня останавливаешь?

Еврей презрительно посмотрѣлъ на ноги чиновника и не торопясь ушелъ въ свой магазинъ.

Въ это время крестьянинъ слѣзъ съ телѣги, снявши предварительно сапоги, и сталъ вытаскивать изъ ямы колесо, но какъ онъ ни бился, а одному ничего нельзя было сдѣлать. И тутъ его выручили евреи. Два торгаша подошли къ телѣгѣ, и несмотря на то, что ноги ихъ на четверть были въ лужѣ, они, не говоря ни слова, стали поднимать телѣгу.

— Ахъ, какое вамъ спасибо! денегъ нима, — говорилъ крестьянинъ, снявъ шапку.

— Какія тутъ деньги...

— Спасибо, други! назадъ поѣду—угощу.

И крестьянинъ уѣзжаетъ, думая, какую ловкую штуку подвели евреи. «Ай жидовскій народъ хитрый. Какъ поѣдешь? Поѣхалъ бы другимъ переулкомъ—нельзя, тоже обѣщался угостить. Скроюсь какъ-нибудь»,—ворчитъ крестьянинъ.

— Ерники! — кричалъ Гирша, подойдя къ евреямъ, помогавшимъ крестьянину.

— По-твоему тонуть?

— Не утонетъ. Ты знаешь ли, безмозглая голова, чья яма-то? Янкеля! и лужа его!

— Неужели и вся улица ваша?

— Дуракъ! Гирша плюнулъ и ушелъ.

Гиршѣ было досадно, что не онъ, а другіе евреи подберутъ къ рукамъ крестьянина. Что они теперь подговорятъ его на какую-нибудь сдѣлку — это вѣрно.

— Не бывать же этому!—сказалъ Гирша, входя въ лавку и рѣшилъ: тотчасъ отправиться на рынокъ. Шмуль ушелъ въ свою лавку.

Возвратилась Гитля, которая сказала мужу, что чиновники еще не получали жалованья. Гирша на это замѣтилъ, что, стало быть, время теперь самое удобное для наживы, потому что у чиновниковъ денегъ нѣтъ, и, отпуская имъ въ долгъ, можно присчитать не одинъ рубль.

— Стеариновыя свѣчи всѣ вышли въ городѣ,— замѣтила съ радостью Гитля.

— А у насъ есть?

Гитля показала Гиршѣ на одинъ изъ ящиковъ, въ которомъ было фунтовъ пятнадцать свѣчъ.

— Отчего жъ ты раньше объ этомъ не сказала? Отчего ты раньше не скупила свѣчки?—кричалъ на Гитлю мужъ.

*

— А ты только понапрасну по улицамъ ходишь? Ну, что ты на улицахъ-то дѣлаешь?

— Я дѣло дѣлаю!

Въ лавку вошла писарша и стала просить въ долгъ на барыню табаку, гильзъ и свѣчъ.

— Свѣчи теперь два злота и десять грошей, — сказала Гитля.

— Это почему?

— Потому что всѣ вышли въ городѣ. Хочешь,— бери...

VI.

Гитлю съ плачемъ окружили дѣти ея и Шмуля. Они просили ѣсть. Но сегодня не было ничего готовлено ни у Гитли, ни у Шмуля, потому что Гитля расчитывала весь день не быть дома, Гирша хотѣлъ ѣхать встрѣчать плоты, которые Янкель подрядился поставить одному богатому еврею, Янкель ушелъ въ мѣстечко, а у Шмуля рѣдко готовится мясное, на томъ основаніи, что Шмуль печетъ булки, которыми, по его мнѣнію, очень можно быть сытымъ. А такъ какъ сегодня булки распродали всѣ, то у Шмуля ничего не осталось перекусить, и даже тѣхъ корокъ, которыя валялись на полу утромъ, уже не было. Гитля же хотя и сдѣлала утромъ мацу въ большомъ количествѣ, но въ ея отсутствіе мужъ и дѣти такъ обчистили латку, что въ ней даже и крошекъ не осталось.

«Будто мы какіе бѣдные!»—подумала Гитля, удостовѣрившись, что ей нечего перекусить. Эта мысль ей пришла сегодня потому, что она хорошо продала товаръ. Въ другое время она и вниманія не обратила бы на свой желудокъ, а теперь такъ и хочется ѣсть. Но какъ быть? Покупать не хочется, не хочется одолжаться и Саррѣ, которая, вѣроятно, сегодня варила печенку и имѣетъ крендельки для покупателей.

«Подожду. Можетъ, и такъ пройдетъ»,—подумала она и пошла въ лавку, не обращая вниманія на ребенка, который ползъ за нею по полу, весь въ грязи и съ занозою на колѣнкѣ.

Въ лавкѣ сидѣлъ чиновникъ съ бакенбардами; Гирша, стоя за выручкой и уперши голову обѣими руками, смотрѣлъ въ приходо-расходную книгу и что-то обдумывалъ.

Гитля поклонилась чиновнику, какъ старому знакомому.

— Ты что, шельма, присчитываешь на меня?— спросилъ ее чиновникъ.

— Какъ, панъ, присчитываю?—обидчиво проговорила Гитля.

— Такъ. Цѣлыхъ три рубля присчитала. Развѣ я не знаю своего почерка?

— Не знаю, что панъ говоритъ? И Гитля стала класть коробки въ надлежащія мѣста.

— Ошибка есть, Алексѣй Алексѣичъ,—сказалъ вдругъ Гирша и вышелъ изъ-за выручки съ книгой къ чиновнику.

— То-то и есть, шельма ты этакая. А еще хочешь, чтобы я подрядъ утвердилъ въ твою пользу.

— Ахъ! какъ вамъ только говорить хочется.

— Ну, давай пива! И съ этимъ словомъ чиновникъ ушелъ въ комнату, за нимъ ушелъ и Гирша, а Гитля пошла къ Саррѣ за пивомъ.

Чиновникъ и Гирша говорили безъ умолку на польскомъ языкѣ. Разговоръ ихъ былъ очень быстръ.

— Ты, Гирша, шельма продувная!

— Еще бы! такой шельмы и въ вашемъ управленіи не найдется.

— Ты на меня-то не намекай.

— Да что и говорить! Такъ за тридцать?

— Тридцать-пять—рѣшено!

— О! сбавить, панъ, сбавить! для меня сбавить! и Гирша потрепалъ по плечу чиновника.

— Ты меня давно ли знаешь? Припомни-ка все, что я сдѣлалъ для тебя.

— Знаю, знаю. А книжка?

— Что мнѣ твоя книжка! Плюю я на твою книжку!

— Однако, панъ, рублей около сотни должку-то накопилось.

— Выплачу... Дай-ка водки.

Явилась водка.

— Однако, братецъ ты мой, водка у тебя разбавлена.

— Э-э!—засмѣялся Гирша.—При откупахъ хорошо было, а теперь лучше. Прежде были повѣренные, а теперь чиновники. Пріѣдетъ, посмотритъ, цѣла печать, а тамъ, что внутри—дѣла нѣтъ.

За водкой торгъ состоялся: чиновникъ-бухгалтеръ получилъ отъ Гирши тридцать рублей и половину изъ нихъ отдалъ Гиршѣ въ счетъ долга.

— Ты шельма, Гирша! у тебя сколько должниковъ-то?

— Что и говорить! Всѣ чиновники въ долгу, какъ въ шелку; и все-таки денегъ нѣтъ...

— Гдѣ же они?

— Въ оборотахъ... у богатыхъ евреевъ... Съ этими словами Гирша вышелъ изъ лавки съ чиновникомъ. На углу они разстались.

Гирша пошелъ на рынокъ.

Тамъ десятка полтора евреевъ и крестьянъ окружали крестьянина. Говоръ происходилъ такой, что ничего нельзя было разобрать.

— Двѣнадцать рублей!—кричали евреи, толкая крестьянъ.

— Четырнадцать рублей!—голосили крестьяне, толкая евреевъ.

— Коханые мои! Помѣщику нужно за землю платить. Помилуйте! Дайте семнадцать, вопилъ крестьянинъ.

— И назадъ уйдешь. А то еще отнимутъ дорогой.

— Помилуй Богъ... О! жизнь моя несчастная!

Гирша подошелъ незамѣтно, прислушался къ толпѣ.

— А много ли у тебя земли-то?—спросилъ онъ крестьянина.

— Да всего двѣ десятины.

— То-то!.. А кому сѣно-то продалъ?

— О! сѣно-то скошено, да сгнило.

Гирша подошелъ къ крестьянину и шепнулъ ему на ухо:

— Хочешь я тебя выручу?

Крестьянинъ выпучилъ на него глаза.

— Не вѣришь? А хочешь я такъ сдѣлаю: и корова будетъ твоя, и денегъ дамъ.

Крестьянинъ снялъ шапку, почесалъ затылокъ. Лицо его выражало и надежду и боязнь.

— Али ты не понимаешь? Оглохъ?

— Не вѣрю я тебѣ, панъ. То-то, не ѣдалъ я сегодня и горилка цѣла. Не вѣрю я тебѣ, панъ.

Гирша отошелъ прочь. Евреи и крестьяне опять окружили продавца. Евреи предлагали цѣну, крестьяне просили не довѣряться жиду.

Гирша подошелъ къ продавцу и показалъ ему десятирублевую бумажку.

— Видишь?! — сказалъ онъ продавцу. — А у васъ есть ли столько? Что вы торгуете-то, когда у васъ ни гроша нѣтъ въ карманѣ?—прибавилъ онъ, обращаясь къ толпѣ.

— И у насъ есть! Видишь?! Это что? побольше твоего!—кричали евреи, вытаскивая бумажники.

— Обманетъ. Продавай за пятнадцать!—кричали крестьяне.

— Хочешь, пять рублей и корова останется у тебя?—спросилъ Гирша крестьянина.

— Ой?—крикнулъ крестьянинъ.

— Честное слово. Запрягай воловъ и ѣдемъ ко мнѣ.

— Мошенникъ! подлецъ! — кричали на Гиршу евреи.

— Обманетъ! Ой, обманетъ! — кричали крестьяне.

Скоро волы повезли телѣгу съ хозяиномъ и Гиршей; за телѣгой шла корова на привязи. Ихъ сопровождали евреи и крестьяне съ руганью, суля имъ всевозможныхъ чертей и несчастій. Но они все-таки доѣхали благополучно до дома Янкеля и остановились передъ шинкомъ Сарры. Корову для безопасности завели во дворъ. Передъ шинкомъ стояли двѣ телѣги, запряженныя каждая въ два вола.

Когда они вошли въ шинокъ—онъ былъ биткомъ набитъ. Гирша провелъ крестьянина въ кухню, взялъ у Сарры кварту водки, булки и печенки и усадилъ крестьянина у окна, чтобы тотъ могъ видѣть корову.

— Такъ какъ, панъ?—началъ крестьянинъ.

Гирша налилъ ему стаканчикъ водки и сказалъ: «пей».

Крестьянинъ посмотрѣлъ на Гиршу подозрительно, но запахъ печенки и видъ булки щекотали его, и онъ выпилъ.

— Повтори!—сказалъ Гирша и налилъ еще.

— О, панъ! Много будетъ!

Однако, крестьянинъ опять выпилъ и сталъ закусывать.

— Такъ ты говоришь, сѣно у тебя сгнило?

— Совсѣмъ сгнило. Охъ, ужъ и лѣто нынче.

— Что жъ, дѣло можно поправить. Сколько бы ты взялъ за него?

— Да рублей пятнадцать.

Гирша налилъ еще водки. Въ шинкѣ у Сарры и передъ шинкомъ въ это время происходила драка.

— А корова-то у тебя хорошая. Если бы я имѣлъ на примѣтѣ покупателя, я бы далъ тебѣ двадцать.

— Купи, панъ! Дай десять рублей, остальныя послѣ.

— Больше пяти рублей не могу дать.

Гирша вылилъ изъ посуды остатки.

— Если бы нужно было, взялъ бы и далъ бы десять рублей впередъ. А то самъ знаешь, кормить ее нужно; трава еще, говоришь, сгнила.

— Вся сгнила... Дай десять-то?

— Не могу. Пять дамъ. Хочешь?

Крестьянинъ былъ очень пьянъ, едва-едва сидѣлъ; ему хотѣлось спать.

Гирша показалъ ему пять кредитныхъ билетовъ по рублю.

— Бери.

Крестьянинъ протянулъ руку.

— Э-э! Нѣтъ, погоди! Условіе надо сдѣлать.

— Какъ же, панъ! какъ же. И свидѣтелей надо.

Въ это время вошли въ шинокъ два полиціанта. Крики затихли. Гирша пригласилъ въ избу полиціантовъ и Сарру, которая громко плакала, жалуясь, что ее ограбили кацапы.

— Вотъ, честные господа, я покупаю у пана Максима корову, такъ прошу васъ быть свидѣтелями,—проговорилъ Гирша, наливая два стакана для полиціантовъ.

— А гдѣ корова?

Гирша указалъ на корову и, отведя полиціантовъ въ сторону, проговорилъ что-то вполголоса, такъ что крестьянинъ, окончательно опьянѣвшій, ничего не слыхалъ.

— Идетъ! гдѣ условіе?—спросилъ одинъ изъ полиціантовъ.

Гирша началъ писать на четвертинкѣ, отъ имени крестьянина, росписку въ томъ, что панъ Максимъ продалъ Гиршѣ Дворкину корову такого-то числа за восемь рублей и получилъ за нее впередъ пять рублей, да пропито паномъ Максимомъ въ шинкѣ у Сарры Бульковской на восемь злотъ и заплачено за постой два злота. Росписку подписалъ за Максима солдатъ. А такъ-какъ Максимъ былъ пьянъ, то Гирша снялъ съ него сумку, досталъ изъ нея кошель, въ которомъ было нѣсколько мѣдныхъ пятаковъ и копеекъ, завернулъ бумажки въ тряпку и положилъ туда, а въ пустую небольшую фляжку налилъ водки, чтобы въ случаѣ спора доказать, что Максимъ покупалъ у Сарры водку. Затѣмъ онъ тщательно завязалъ сумку и надѣлъ на Максима, котораго вывели на улицу и уложили въ телѣгу.

Въ телѣгѣ Максимъ очнулся.

— А деньги?

— Деньги въ сумкѣ.

— Всѣ?!

— Сосчитай.

Максимъ сталъ развязывать сумку.

— Потеряешь, смотри, деньги-то.

Гирша стегнулъ воловъ и они тронулись. Скоро волы утащили Максима вдоль по улицѣ, а Сарра

повела корову къ еврейскому торгашу, который скупалъ коровъ для колотья.

Къ вечеру стали уносить съ улицы кадки, горшки и прочія вещи; стали снимать вывѣски и прятать ихъ въ лавки. Отъ разныхъ кадокъ и отъ метенія половъ въ домахъ, изъ которыхъ все выметали на улицу, на улицѣ еще больше прибавилось сору, но зато грязь немного утопталась. Рѣдко, кое-гдѣ въ окнахъ свѣтились огоньки, и можно было увидать еврея или еврейку, сидящихъ около стола и считающихъ дневную выручку или повѣряющихъ долговыя записки. Но было много и такихъ, которымъ нечего было считать.

Поужинавъ мацой, евреи, измученные дневной ходьбой, ложились спать, куда попало. Такъ и Гирша легъ въ лавочкѣ, Гитля въ кухнѣ. Шмуль расположился въ своей кухнѣ около ребятъ. Ребенокъ плакалъ въ люлькѣ, но на него никто не обращалъ вниманія, потому что спали всѣ, какъ убитые. Малки долго не было, а хотя Лея и должна была присматривать за ребенкомъ ея, но она, какъ только уснули всѣ въ кухнѣ, ушла изъ дому. Старуху же Сарра уложила на своей кровати.

Скоро настала во всемъ городѣ тишина, прерываемая только собачьимъ лаемъ.

VII.

Лея, проживавшая у Шмуля Дворкина, была дочь бѣдныхъ родителей. Отецъ ея, при всемъ стараніи, никакъ не могъ выбиться изъ бѣдности; сперва онъ былъ работникомъ кое у кого изъ богатыхъ евреевъ, потомъ пріобрѣлъ себѣ лошадь и возилъ на ней каменья для подрядчиковъ, но одинъ разъ возъ навалился на него, и онъ, пролежавъ около двухъ недѣль дома, умеръ. Хотя же послѣ него и осталась молодая жена съ двухлѣтней дочерью, но эта женщина не умѣла взяться за дѣло, продала лошадь евреямъ маклакамъ, купила на эти деньги лавочку и стала торговать горшками подъ филярами. Скоро за нее сталъ свататься женихъ еврей, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы она дочь куда-нибудь пристроила. Какъ ни жалко было разстаться съ дочерью, съ которою она торговала, то-есть, садила въ лавкѣ на голый полъ, но она разсудила, что, во-первыхъ, дѣвочка ей мѣшаетъ; во-вторыхъ, отъ мужа могутъ быть другія дѣти, и въ-третьихъ, что, живя въ людяхъ, дочь выростетъ и потомъ будетъ пристроена къ мѣсту. Сообразивъ все это, она продала дочь Шмулю за три рубля.

Шмуль купилъ дѣвочку потому, что у него отъ жены дѣтей не было Лею рѣдко кормили, почти не одѣвали, держали въ холодѣ и грязи, и если она не умерла, такъ единственно по живучести, свойственной еврейскому организму. Наконецъ, умерла жена Шмуля отъ его побоевъ, Лея вздохнула. Въ семь лѣтъ вдовства Шмуля, она была предоставлена на произволъ окружающихъ ее личностей. Въ это время она постоянно была на улицѣ, огрызалась съ ребятами и со старшими; старшіе ее ничему не обучали, отъ младшихъ она переняла обманы, дерзость, плутовство. А такъ какъ она была куплена Шмулемъ для работы, то съ семи лѣтъ ее стали заставлять дѣлать все то, что подъ силу только взрослой работницѣ.

Но вотъ Шмуль въ другой разъ женился на Малкѣ. Дѣла Леѣ прибавилось, и она не могла терпѣть Малку, видя въ ней деспотку, женщину, считавшую ее за рабу. Между дѣвушкой и женщиной завязалась съ самаго начала непримиримая вражда, такъ что обѣ не могли терпѣть другъ друга. Малка жаловалась и мужу, и тестю, и тещѣ на дѣвочку, отъ которой ей нѣтъ прохода; дѣвочку тиранили безапелляціонно, но потомъ махнули рукой, видя, что съ нею рѣшительно ничего не подѣлаешь. Лея видѣла, что и съ Малкой всѣ обращаются не очень вѣжливо, бранятъ и бьютъ за лѣнь и неумѣнье взяться за дѣло, и ненависть ея росла съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе.

При такомъ положеніи дѣлъ, Лея въ пятнадцать лѣтъ сдѣлалась дѣвушкой дерзкой. Такой, по крайней мѣрѣ, она слыла во всей грязной улицѣ. Но никто, кромѣ ребятъ, спавшихъ около нея, не замѣчалъ ея слезъ, никто не повѣрилъ бы, если бы Лея сказала, что такая жизнь давитъ ее, что ей болѣе, чѣмъ кому другому, хочется свободы. Второй мужъ ея матери тоже былъ бѣдный работникъ и для поправленія своихъ средствъ высасывалъ у нея гроши. Въ эпидемію умеръ и этотъ мужъ, и мать ея крѣпилась года два, но торговля горшками шла такъ скверно, что она рѣшилась заняться чѣмъ-нибудь другимъ. Янкель и Шмуль предложили ей поступить къ нимъ въ работницы, но она, видя, какъ истязуютъ ея дѣтище, стала требовать дочь назадъ; однако ея не отдали, а предложили взять деньги за ея лавку и сидѣть въ ней за дочь. Не понимая сѣтей, одурѣвшая отъ разныхъ невзгодъ, она согласилась, проторговала годъ и вдосталь одурѣла. Жила она у сестры, родня которой совѣтовала отнять дочь отъ Шмуля, но она только горячилась на первыхъ порахъ, а потомъ забывала, о чемъ сама говорила. Дочь знала, что мать ея полоумная, и ненависть ея къ Дворкинымъ усилилась еще больше. Но вмѣстѣ съ Дворкиными она не полюбила всѣхъ евреевъ и евреекъ вообще. Лея строила различные планы: то ей хотѣлось убѣжать далеко, далеко отъ Дворкиныхъ; то хотѣлось завладѣть имуществомъ Дворкиныхъ и заняться торговлей. Но оба плана были неисполнимы. Итти къ христіанамъ, просить ихъ защиты тоже было невозможно, потому что законъ еврейскій обѣщаетъ за то страшныя муки, да и христіане издѣваются надъ ними, евреями. Много Лея строила плановъ, но ни одинъ изъ нихъ ей, бѣдной угнетенной дѣвушкѣ, не казался исполнимымъ, и она ударилась въ мистицизмъ, надѣясь терпѣніемъ заслужить милость Божію. Но какъ ни велика была ея восторженность, дѣйствительная жизнь становилась съ каждымъ днемъ невыносимѣе.

Сегодня, напримѣръ, она только что убралась дома, какъ къ ней пристаръ Янкель.

— Что ты за ребенкомъ не смотришь?

— Развѣ я не смотрю!

— Молчать, раба! Къ чему ты положила въ болыску хлѣбъ?

— Что же, мнѣ голодомъ что ли сидѣть?

— Матери своей хочешь нести!.. Ничего не получишь. Еще вы, свиньи, не сыты; еще вы неблагодарны!

— Такъ и собаки не живутъ.

Янкель схватилъ ремень и хлестнулъ Лею по спинѣ. Но Лея скрѣпилась и смолчала.

Ребенокъ плакалъ; Лея вошла въ конуру.

— Куда ты пошла?

— Куда мнѣ итти! Къ ребенку.

— Зашей дыру на сюртукѣ.

— Зашью.

— А съ какимъ ты это солдатомъ шепталась, какъ я уходилъ изъ дому?

— Что нужно Янкелю? Что Янкель пристаетъ къ рабѣ? Янкель съ Гитлей живетъ! Что отъ меня Янкель хочетъ?..

Янкель не могъ дольше слушать. Онъ ушелъ и заперъ квартиру на замокъ.

Лея стала на колѣни и заплакала. Долго плакала Лея, и, когда стало ей легче, она рѣшилась итти къ матери и уже не ворочаться сюда.

Когда всѣ уснули, она тихонько вышла, сперва во дворъ, потомъ на улицу, и пустилась бѣжать. За ней гнались собаки, но она благополучно добралась до жилища матери на берегу рѣки.

У этого дома не было вовсе воротъ, и Лея, поднявшись по гнилымъ ступенькамъ на крылечко, стала стучать въ дверь.

— Кто тутъ?—спросилъ ее старческій женскій голосъ.

— Лея Фельдманъ.

— Никого нѣтъ дома.

— Пустите!—меня убьютъ Дворкины.

Скоро дверь отворилась. Мать Леи не спала.

— Мать! Я не могу больше жить у Дворкиныхъ,—говорила дочь, заливаясь слезами.

— И не живи. Будемъ вмѣстѣ торговать,—проговорила мать. Въ голосѣ ея не слышалось ни радости, ни состраданія.

— Охъ, что-то будетъ!

Только что Лея начала засыпать, какъ въ избу ворвался Шмуль. Дверь едва держалась на петляхъ, и ему ничего не стоило толкнуть ее хорошенько, чтобы она сорвалась совсѣмъ. Начинало свѣтать, и Шмуль увидалъ свою жертву.

— А! вотъ ты гдѣ?!

Начались истязанія; старуха кинулась на Шмуля съ ножомъ, но Шмуль выхватилъ ножъ и за косу вытащилъ Лею на улицу. Мать кинулась за дочерью, но дочь, зная, что вообще всякая защита безполезна, сказала:—мама! Иди спать!

Всю дорогу Шмуль ругалъ Лею, часто схватывая за косу; Лея взвизгивала. Въ окна смотрѣли проснувшіяся еврейки и говорили:

— Эдакая негодная!.. Дерни ее за косу-то!..

Эти женщины думали, что Лея сдѣлала какое-нибудь преступленіе, напримѣръ, убѣжала къ любовнику-христіанину. Но, кромѣ того, по ихъ понятіямъ, раба вообще должна повиноваться своему господину безпрекословно.

У воротъ Шмуль встрѣтился съ Гиршей, который, узнавъ, что убѣжала Лея, сперва страшно перепугался, такъ какъ у него вещей было много. Но въ лавкѣ у него все было цѣло; деньги тоже всѣ. Простоявъ въ воротахъ около четверти часа, онъ умѣрилъ свой гнѣвъ и пришелъ къ тому заключенію, что Лея бѣжала отъ побоевъ.

— Пусти ее,—сказалъ онъ Шмулю:—не убижитъ.

— Нѣтъ, я ее еще плетью.

— Будь человѣченъ, Шмуль. Вѣдь она еще молода.

— Тебѣ какое дѣло?

Шмуль выпустилъ Лею; Лея ушла въ избу.

— То и дѣло, что она намъ всѣмъ худо сдѣлаетъ. Посмотри на нее, какъ она избита! Лошади того не вынести.

— Не ты съ ней живешь, а мы съ ней.

— Все равно. Нужно помнить, что отъ побоевъ твоя первая жена умерла... А эта—работница, ее нужно беречь. Вѣдь ты небось никому не уступишь ея?

Шмуль ушелъ и не могъ уснуть.

Утромъ онъ сдѣлался ласковѣе съ Леей, и когда ушелъ изъ дома, не заперъ ее на замокъ, а даже сказалъ:

— Если Леѣ нечего будетъ дѣлать, она можетъ помочь Саррѣ. А когда понесешь въ лавку кушанье, возьми съ собою и ребенка, если Малка не придетъ.

Но Лея сперва истерически хохотала, а потомъ заплакала, и вдругъ, схвативъ изъ-подъ стола веревку, убѣжала въ одну изъ клѣтушекъ, заваленную разными вещами, лежащими здѣсь уже нѣсколько лѣтъ безъ употребленія. Очистивъ небольшое пространство въ углу, она надѣла на шею петлю, закинула веревку за перекладину крыши и повѣсилась...

VIII.

Янкель Дворкинъ, между тѣмъ, ходилъ въ управленіе жаловаться на надувшаго его контрактомъ чиновника, но ему сказали, что теперь его дѣло пропащее, потому что у него нѣтъ документа. Дорогой къ дому, ему попался толстый купецъ, который, не говоря ни слова, два раза ударилъ старика палкой. Старикъ промолчалъ, потому что былъ долженъ купцу болѣе ста рублей.

— Даю тебѣ три дня сроку! Если ты по истеченіи трехъ дней не доставишь бревна,—я отъ тебя домъ отберу.

— Что же я сдѣлаю, когда меня раззорили!

— А, старый чортъ! Да знаешь ли ты, почемъ мука-то теперь въ Петербургѣ?

— Знаю.

— Ну, такъ поѣзжай въ деревни, и гдѣ найдешь—всю забирай. Ты на этотъ счетъ мастеръ, и я только каюсь, что связался съ тобой въ бревнахъ. Понимаешь ли ты, сколько я убытку-то несу? Нужно работать, а бревенъ нѣтъ...

— Не сомнѣвайся, скоро будутъ.

— Ну, изволь хочь муки поживѣе доставить, пока еще другіе не скупили.

Янкель, не заходя домой, отправился въ сельцо Лытки. Сначала онъ шелъ пѣшкомъ, но потомъ встрѣтилъ знакомаго чулу (крестьянинъ въ Литвѣ) и за десять грошей доѣхалъ до сельца. Янкель проѣздилъ трое сутокъ. Въ сельцахъ и деревняхъ у него было много должниковъ. Онъ сталъ грозить и настращалъ бѣдныхъ такъ, что они уплатили ему долгъ мукой, какую только могли собрать.

Янкель привезъ въ городъ двѣ телѣги муки, изъ коихъ одну доставилъ купцу, другую отправилъ подъ филяры, въ лавку Шмуля.

Въ это время цѣна на муку поднялась уже значительно, такъ что ржаной печеный хлѣбъ, который назадъ тому пять дней продавался по три гроша за фунтъ, теперь вдругъ сталъ продаваться по семи грошей. Пропорціонально хлѣбу, цѣна возвысилась и на мясо, соль и даже на табакъ.

Толстякъ купецъ остался очень доволенъ и даже спросилъ Янкеля: не чешется ли его горбъ?

Не менѣе купца торжествовалъ и Янкель; торгаши мукой отъ себя давали ему барыши, но онъ муки не продавалъ, а заперъ въ подпольѣ лавки Шмуля, думая, что черезъ мѣсяцъ цѣна еще больше увеличится.

Но его весьма разозлило извѣстіе объ исчезновеніи Леи, которую и Шмуль и Гирша искали чуть ли не по всему городу, но полиціи не доносили, потому что она прежде не была нигдѣ заявлена. Дворкины какъ её, такъ и мальчиковъ изъ христіанъ не показывали полиціи, гдѣ они и не были записаны въ числѣ жителей. Янкель ругалъ Шмуля, Малку, свою старуху. Мать Леи говорила на рынкѣ, что Дворкины убили ея дочь. Одно только Янкель придумалъ: онъ сказалъ семейству, чтобы оно говорило, если будутъ спрашивать, что Янкель увезъ Лею въ село Лытки, и она оттуда бѣжала.

На другой день, по прибытіи Янкеля въ городъ, его потребовали въ полицію. Янкель струхнулъ, и хотя подарилъ полиціанту злотъ, чтобы онъ сказалъ, зачѣмъ требуютъ, но тотъ отвѣчалъ, что ничего не знаетъ. Женщинъ дома не было: всѣ онѣ, кромѣ старухи, ушли въ управленіе получать долги.

— Странное дѣло!—сказалъ Янкель, прохаживаясь по комнатѣ.

— Если объ этой лужѣ, что передъ окномъ, то и ходить не слѣдуетъ,—сказалъ Гирша.

— Проклятая лужа! сколько она у меня денегъ высосала! И дали же мнѣ проклятое такое мѣсто...

— А все же заровнять ее слѣдуетъ: народу больше будетъ ходить, а то обѣгаютъ.

— Не объ лужѣ рѣчь!—крикнулъ съ яростью Янкель, такъ что Гирша вздрогнулъ.

— Гдѣ Шмуль?

— Въ лавкѣ.

— Не искалъ онъ Леи?

— Всѣ мы искали—нѣту.

— То-то. Проклятіе мое да будетъ на васъ, если вы что худо съ ней сдѣлали! Никто, кромѣ меня, не имѣлъ права трогать ее...

И Янкель вышелъ, оставивъ Гиршу, сильно пораженнаго гнѣвомъ отца.

А Гиршѣ было надъ чѣмъ задуматься: о Леѣ не было никакого слуха, а вчера мать ея прибѣгала къ нимъ и потомъ кричала на всю улицу, что Дворкины задавили ея дочь. Гиршу самого удивляло, куда она могла дѣться? Уѣхать ей некуда и не на что, потому что все цѣло; если бы она утопилась, то всплыла бы. Ему и въ голову не приходило, чтобы Лея могла удавиться, потому что такіе случаи очень рѣдко бывали въ городѣ. Шмуль сидѣлъ за какою-то еврейскою книгою—признакъ скорби.

Изъ книги онъ старался почерпнуть какую-то мудрость, но изъ его головы не выходило два обстоятельства: зачѣмъ отца зовутъ въ полицію и куда дѣлась Лея!

— Еще не бывало такихъ случаевъ, чтобы у Дворкиныхъ рабы исчезали, — сказалъ Янкель, входя въ лавку.

Шмуль вздрогнулъ.

— Ну, что ты теперь скажешь?

— Развѣ я виноватъ, что она убѣжала?

— Полно! не врешь ли, сынокъ!—сказалъ Янкель ядовито и не спуская глазъ съ сына.

Но сынъ и не моргнулъ.

— Говори правду, потому тебѣ не повѣрятъ, а мнѣ повѣрятъ. Я съ частнымъ другъ и пріятель.

— Ничего не знаю.

Немного погодя, Янкель ушелъ въ полицію. Пришедши въ прихожую и ставши къ дверямъ канцеляріи, Янкель совсѣмъ измѣнился: пейсики растеребилъ такъ, что ихъ стало почти незамѣтно, горбъ на спинѣ сдѣлался у него еще больше и безобразнѣе, лицо приняло смиренно-обиженное выраженіе. глаза глядѣли робко-плутовато. Около него стояло человѣкъ пять-шесть евреевъ съ такимъ же обиженнымъ видомъ, въ такой же потертой одеждѣ. Янкель ни съ кѣмъ не поздоровался, и на него тоже какъ-будто не обратили вниманія. Онъ стоялъ такъ, что не поворачивалъ головы ни направо, ни налѣво и тупо глядѣлъ на пуговку на фуражкѣ. Вдругъ къ нему подошла горбатая низенькая женщина съ морщинистымъ желтымъ лицомъ, которое наводило на посторонняго человѣка ужасъ.

— Подай мою дочь! — крикнула женщина на Янкеля.

Янкель захохоталъ.

— Да была ли у тебя дочь-то?—спросилъ онъ смѣясь.

Лицо женщины передернуло нѣсколько разъ.

Вдругъ она вцѣпилась въ сюртукъ Янкеля и разорвала его—до того сюртукъ былъ ветхъ.

— Будьте свидѣтели, она сумашедшая!—сказалъ Янкель евреямъ и, отошедши къ полиціанту, что-то шепнулъ ему, сунувъ въ руку бумажку.

Полиціантъ оттолкнулъ женщину и выгналъ её во дворъ.

— Это изъ-за нея требовали сюда?—спросилъ Янкеля одинъ еврей.

— Да... Никогда ни по какимъ дѣламъ не бывалъ здѣсь—и вдругъ эта баба!

Растворилась съ стукомъ дверь и передъ евреями предсталъ низенькій черноватый пожилой частный.

— А, Янкель! На тебя жалоба,—проговорилъ онъ скороговоркой.

— Не знаю, въ чемъ.

— Куда ты дѣвалъ дочь жидовки Фельдманъ?

— Я её свезъ къ пану.

— Не врешь?

— Нѣтъ.

— Постой. Мы съ тобой еще потолкуемъ. И частный обратился къ другому еврею:

— А ты, рыжая собака, долго ли насъ будешь морочить?

— О чемъ, ваше благородіе, говорить изволите?

— О томъ, что вчера его превосходительство изволилъ ѣхать по вашей улицѣ и противъ дома твоего его экипажъ свалился.

— Ай-ай!

— Не ай-ай, а я тебя спрашиваю: почему ты лужу не засыплешь?

— Невозможно.

— За эти слова я, знаешь, проморю тебя недѣлю въ кутузкѣ.

— Воля ваша.

Частный ушелъ въ присутствіе, за нимъ пошелъ и Янкель. Тамъ, кромѣ секретаря, никого не было. Частный сѣлъ на свое мѣсто, а Янкель сталъ около двери и погрузился въ думу.

«Эта проклятая баба,—думалъ онъ,—ужъ успѣла нажаловаться на меня частному. Должно быть, она ему, Богъ-знаетъ, что насказала про насъ. Кабы дѣло было пустое, частный рѣшилъ бы въ прихожей. Нѣтъ, тутъ дѣло сотенное! Вотъ тебѣ и мука! Все, что нажилъ, теперь изволь отдать. Проклятая баба! Ты могла бы до кагала итти: насъ кагалъ разсудилъ бы по всей справедливости, и я могъ бы тебя взять къ себѣ на спокой...

— Ну, старая собака, что ты скажешь въ свое оправданіе?—спросилъ вдругъ частный и прибавилъ, обращаясь къ письмоводителю:—Иванъ Иванычъ, записывайте его показанія.

Янкель горько улыбнулся. Ему казалось, что это шутки, что надъ нимъ хотятъ издѣваться, чтобы взять больше денегъ.

— Что же ты молчишь?

— О чемъ изволите спрашивать, ваше благородіе?—спросилъ рѣзко Янкель.

— Ага!.. Что у тебя за дѣвка жила?

— Дѣвка жила не у меня, а у сына Шмуля.

— Но ты хозяинъ, ты отецъ,—ты долженъ былъ доносить объ этомъ.

— Что угодно вашему благородію?

— Куда дѣвалась эта дѣвка?

— Что нужно вашему благородію? Что ваше благородіе пристали ко мнѣ? — говорилъ Янкель обиженнымъ тономъ.

— Въ кутузку хочешь?

— Говорите прямо: денегъ надо?

Частному стало стыдно, стыдъ перешелъ въ гнѣвъ: какъ смѣлъ еврей такъ дерзко говорить? Но онъ не рѣшался поступить съ нимъ строго, потому что Янкель исправно платилъ деньги, какія слѣдовали, а дѣвокъ мало ли бѣгаетъ отъ евреевъ...

— Скажи мнѣ, Янкель, по совѣсти, что такое случилось?

Янкель разсказалъ, что назадъ тому тринадцать лѣтъ Шмуль купилъ у вдовы Фильдманъ дочь, чтобы воспитать ее до возраста; но эта дѣвочка росла полоумной, и онъ нѣсколько разъ хотѣлъ ее отослать назадъ, да жалко было. Въ послѣднее время она часто стала убѣгать по ночамъ изъ дома, и разъ Шмуль увелъ ее отъ матери, что можетъ подтвердить множество евреевъ, видѣвшихъ, какъ Шмуль тащилъ домой Лею за косу. Послѣ этого онъ увезъ Лею въ село, гдѣ она теперь сидитъ въ шинкѣ. Онъ, Янкель, возвращаясь изъ села домой, хотѣлъ пристроить полоумную Фельдманъ у себя, но послѣ того, какъ она въ полиціи, при нѣсколькихъ евреяхъ, разорвала его сюртукъ, онъ считаетъ ее сумасшедшей и проситъ взять ее въ больницу, а если полиція не сдѣлаетъ этого, то онъ пойдетъ до кагала, и кагалъ рѣшитъ по справедливости.

— Всему этому я не вѣрю ни капли,—сказалъ частный по окончаніи разсказа.

— Какъ угодно,—и Янкель подалъ двадцатипятирублевую.

— Ну, вотъ видишь! кабы ты былъ правъ, вѣдь не далъ бы?

— Извѣстно вашему благородію, наше дѣло такое, что намъ каждый часъ дорогъ.

— Ну, ступай! Если что случится, иди ко мнѣ.

— Ничего не можетъ случиться.

— Э, братъ! Можетъ случиться. Можетъ-быть, и не разъ придется побывать здѣсь, — сказалъ частный значительно.

IX.

Янкель разругалъ страшнымъ образомъ сперва Шмуля, потомъ Гиршу, которымъ, между прочимъ, далъ наставленіе, чтобы они въ шабашъ заявили кагалу о томъ, что Фельдманъ сумасшедшая, и ее слѣдуетъ взять въ больницу. Затѣмъ онъ отправился въ школу повидать подраввина. Школа отличается отъ русскихъ школъ тѣмъ, что это большая комната безъ печки. Она четырехугольная, въ трехъ стѣнахъ окна, около четвертой налѣво перила для учителя, и тутъ же совершается богослуженіе. Двѣ трети комнаты заняты скамейками и длинными столами, за которыми сидятъ ученики; напротивъ этихъ скамеекъ, лавки для помощниковъ подраввиновъ. Стѣны не обѣлены; полъ грязный; пахнетъ чеснокомъ и махоркой. Когда Янкель вошелъ въ школу, въ ней происходилъ необъяснимый крикъ очень непріятнаго свойства: передъ каждымъ столомъ стоялъ помощникъ подраввина и что-то голосилъ по книгѣ, за нимъ голосили мальчики; напротивъ нихъ, на лавкахъ сидѣло четверо евреевъ отъ 30 до 40 лѣтъ, и каждый, держа книги, читалъ вслухъ. На Янкеля никто не обратилъ вни-

манія. Посмотрѣвъ пристально во всѣ стороны, онъ подошелъ къ большому столу, взялъ съ него одну большую книгу, подсѣлъ къ пожилымъ евреямъ, надѣлъ огромные очки въ мѣдной оправѣ и сталъ читать вслухъ. Это чтеніе его немного успокоило, и онъ, не поговоривши ни съ кѣмъ, вышелъ на улицу.

— Во всемъ неудача! и Давида не засталъ! А съ евреями говорить до поры до времени нечего: все дѣло испортятъ. И куда эта дѣвчонка дѣвалась?

Янкель прошелся раза два по улицѣ, посмотрѣлъ на пильщиковъ, нанялъ солдатъ стащить на берегъ бревна,—все невесело.

Янкель воротился домой еще злѣе прежняго и сѣлъ къ двери у лавки Гирши, ни слова не говоря ни съ кѣмъ.

Вдругъ явилась барыня.

— Я у васъ вещи заложила: салопъ, шляпу, часы,—проговорила она Гиршѣ.

— Пришла пани за вещами,—сказалъ Гирша, обращаясь къ Янкелю.

— Пусть отдастъ деньги и придетъ завтра,— сказалъ Янкель, не глядя ни на Гиршу, ни на барыню.

Гирша передалъ слова отца, изъяснившись деликатнымъ образомъ.

— Но я бы хотѣла сегодня получить вещи, потому что я ѣду.

— Мы вещи отдали на храненіе, потому что у насъ квартира неудобная для храненія. Если вы оставите сегодня деньги, мы завтра къ вамъ сами принесемъ.

Барыня на это не согласилась и стала требовать вещи. Янкель пошелъ въ свой чуланъ и черезъ полчаса принесъ вещи.

— Помилуйте! Это не мой салопъ!

— Можетъ быть, пани чужой закладывала: чужой нелегко узнать,—проговорилъ Янкель.

— Но я вамъ не такой давала. Я знаю верхъ: верхъ былъ атласный, а этотъ суконный; мѣхъ былъ лисій, а этотъ бараній.

— Такъ вамъ не угодно брать? — спросилъ Янкель.

— Зачѣмъ же я возьму?

— Мнѣ очень непріятно, но дѣлать нечего.

И Янкель швырнулъ салопъ въ комнатку.

— И часы не ваши?

— Часы?.. Мои... Но салопъ... салопъ! Боже мой! Вѣдь это мамашинъ подарокъ.

— Пани!—началъ Янкель: — вы закладывали назадъ тому полтора года?

— Но я платила проценты.

— Пани, выслушайте меня... Не говорилъ ли я вамъ, что салопъ можетъ повредиться: вѣдь у насъ есть мыши...

— Но вы вовсе не салопъ даете, а чортъ знаетъ, что такое.

— Богъ съ вами, пани. Напрасно обижаете бѣднаго еврея. Вѣдь вотъ ваши часы цѣлы же, и шляпка ваша цѣла...

— Боже мой! что я стану дѣлать...

— Продайте мнѣ ваши часы.

Явилась Гитля. Янкель и Гирша ушли въ комнатку.

— Ну, ужъ и народецъ! никто денегъ не платитъ. Жалованье получили, а денегъ не платятъ... А! пани! Здравствуйте! какъ поживаете?—проговорила Гитля, обращаясь къ барынѣ.

— Голубушка, Гитля! салопъ перемѣнили.

— Что вы??

Барыня стала жаловаться Гитлѣ, но та сказала, что это дѣло не ея.

— Я буду жаловаться полицейскому.

— Можете.

— Это ни на что не похоже. Въ прошломъ году тоже одному еврею заложила золотыя сережки, стала выкупать — онъ возвратилъ оловянныя.

— Хорошо еще, что возвратилъ, могъ бы отпереться.

Барынѣ ничего не оставалось, какъ взять вещи и уйти, что она и сдѣлала.

Вошелъ солдатъ съ узломъ и спросилъ Янкеля:

— Не купишь ли ты у меня шинель?

— На что мнѣ солдатскую шинель? Развѣ другая есть?

— Есть.

И солдатъ сталъ развязывать узелъ, но Янкель велѣлъ ему итти за собой.

Они вошли въ четырехугольную комнату, съ двумя окнами, выходившими на улицу. Въ углу стояла конторка съ шандаломъ, въ которомъ было воткнуто три сальныхъ восьмириковыхъ свѣчи; середи комнаты стоялъ длинный столъ; около стѣнъ нѣсколько стульевъ. Полъ посыпанъ пескомъ.

Янкель сталъ разсматривать шинель, которая оказалась не солдатскою, а офицерскою.

— Шинель дрянная. Цѣна ей два злота,—сказалъ Янкель и отдалъ шинель солдату.

— Мало даешь.

— Больше ни гроша! Хочешь отдавай, и мы ее пристроимъ; не отдашь — много не находишь, изловятъ.

— Да мнѣ баринъ подарилъ ее.

— Кто твой баринъ?

— Яковлевъ.

— А! Ну, онъ долговъ не платитъ. Нѣтъ ли еще чего?

— Боязно. На меня подумаютъ.

— Подумаютъ, да не узнаютъ и не найдутъ. Два злота.

— Три.

— Ни гроша.

— Бери!

Янкель взялъ шинель и вышелъ изъ комнатки, оставивъ въ ней солдата. Скоро онъ вернулся и выдалъ солдату деньги.

— Старуха-то наша больно плоха, — сказалъ Янкель Гиршѣ, входя въ лавку.

— Поправится,—отвѣчалъ тотъ.

— Надо доктора позвать,—сказала Гитля.

— Вотъ еще тратиться!—сказалъ Янкель.

— Вотъ что, сложитесь всѣмъ семействомъ.

Докторъ скажетъ, что намъ дѣлать, — сказалъ Гирша.

— Это все пройдетъ. Понапрасну только время тратить.

Въ лавку вошла пожилая женщина, еврейка. На рукахъ она держала ребенка.

— Не возьмете ли моего ребенка?—проговорила женщина.

— Сколько ему времени?—спросилъ Янкель.

— Полтора года. Боленъ. Очень боленъ.

— Не врешь?

Янкель, за нимъ Гирша и Гитля осмотрѣли ребенка, который былъ чуть живъ.

— Да дайте десять грошей.

Гирша выдалъ деньги, а Гитля взяла ребенка, котораго унесла въ избу и положила въ колыску, а своего ребенка уложила на кровать.

Получивши деньги, еврейка ушла очень довольная и благодарила Бога за то, что онъ пристроилъ ея дитя.

— Вотъ и кладъ!—сказалъ Янкель.

— Больно плохъ ребенокъ-то.

— Ну, надо постараться, чтобы онъ былъ живъ.

— Плохо живутъ эдакія дѣти!

— Ну, ну! Иди покарауль доктора; онъ, я думаю, теперь въ городѣ. Посмотримъ. Если нельзя будетъ держать ребенка, надо возвратить.

Гирша ушелъ.

Дѣло въ томъ, что у евреевъ существуетъ обычай, что если ребенокъ боленъ, мать продаетъ его евреямъ за 20 и 10 грошей для того, чтобы ребенокъ не умеръ. Они думаютъ, что у матери больное дитя скорѣе умретъ, а въ чужихъ людяхъ выздоровѣетъ. Въ доказательство, разсказываютъ случай такого рода, что у одной еврейки было пятнадцать дѣтей, и всѣ умерли. Шестнадцатую дѣвочку продали, и она жила въ людяхъ до двадцати двухъ лѣтъ.

Когда Гитля вошла въ лавку, Янкель ушелъ въ комнатку и сѣлъ къ столу, задумавшись. Невесело было у него на душѣ. Не исчезновеніе Леи безпокоило его, а такъ было скучно, ныло сердце; такъ бы и не смотрѣлъ ни на что. Это его состояніе въ послѣднее время замѣтили всѣ домашніе.

— Иди сюда,—сказала Гитля Янкелю, стоя въ дверяхъ.

Янкель взглянулъ на нее и понурилъ голову.

Гитля подошла къ нему и положила на его плечо руку.

— Гитля!—сказалъ дрожащимъ голосомъ старикъ, и сталъ глядѣть ей въ глаза.

Гитля обняла старика и, поцѣловавъ его въ щеку, отошла къ дверямъ.

— Проказница!—проговорилъ весело старикъ, и застучалъ тростью.

— А ты старый чортъ!

— Ну, иди ко мнѣ.

— А кто придетъ?

— Ну—ну.

Гитля сѣла къ столу, Янкель взялъ ея руки и долго держалъ въ своихъ костлявыхъ ладоняхъ.

— Невесело мнѣ, дружокъ! въ могилу смотрю...

— Ну, полно. Ты еще молодецъ на всякія штуки.

— Не говори! Я ничего не нажилъ... Но, все-таки, я тебя люблю, и все мое будетъ твоимъ.

«Старый песъ», думала Гитля: «ты отъ меня давно домогаешься любви и твердишь: что мое, будетъ твое,—а попроси у тебя грошъ—задавишься, не дашь... Впрочемъ, и то ладно, что ты меня любишь: и Гиршѣ хорошо, и меня никто не колотитъ».

Пятница. Всѣ еврейки высыпали на уголъ грязной улицы къ торгашамъ рыбы. Каждая еврейка покупала одну или нѣсколько щукъ, и хотя тутъ же продавали окуней, но ихъ не брала ни одна покупщица. Въ каждомъ еврейскомъ домѣ топилась печь, варилась въ чугунѣ щука, затѣмъ пеклись булки и опресноки, имѣющіе видъ нашихъ оладьевъ. Въ кухняхъ и комнатахъ заметались полы метлами и голиками, на столы стали стлать бѣлыя скатерти, а на середину ихъ ставили блюда съ опресноками и шандалы со свѣчами. Такъ и въ домѣ Янкеля Дворкина и его семейства мелись полы, покрывались столы и становились блюда и шандалы съ двѣнадцатиріковыми свѣчами.

Въ пять часовъ во всемъ городѣ заперли еврейскія лавки. Во многихъ домахъ горѣли свѣчки, въ нѣсколькихъ евреи совершали молитвы; изъ этихъ домовъ слышался неистовый крикъ. Теперь не было той суеты, какая была назадъ тому часъ, на улицахъ не видно было ни одной еврейской души. Начался шабашъ. Янкель, одѣвшись въ черный плисовый кафтанъ, опоясался чернымъ поясомъ, и надѣвши на голову ермолку, а на ноги бѣлыя туфли, пошелъ въ синагогу; остальное семейство разбрелось по школамъ, гдѣ совершались тоже моленья. Въ синагогѣ Янкель совсѣмъ преобразился: всѣ его жесты изображали человѣка честнаго, угнетеннаго, религіознаго въ высшей степени, а всеобщій крикъ заставлялъ еще усерднѣе выкрикивать молитву и колотить себя въ грудь, что было силы.

Дома осталась съ ребятами одна Хая. Ей нужно было присмотрѣть за всѣмъ, но, по закону еврейскому, она ничего не могла брать въ руки. А такъ-какъ вездѣ, кромѣ лавокъ, были зажжены свѣчи, она должна была присмотрѣть и за ними. Ребенокъ, взятый за десять грошей, лежалъ бездыханный въ колыскѣ, ребенокъ Гитли плакалъ, другіе шалили, старуха охала. Только входитъ Хая въ комнату Янкеля и видитъ, что одна свѣчка упала изъ шандала и горитъ скатерть.

Хая выбѣжала на улицу и закричала:

— Гвалтъ! Пожаръ!

Но на улицѣ нѣтъ никого.

Хая начала кричать громче.

Изъ одного дома вышла старушка, вошла въ комнату Янкеля, встала на цыпочки и стала дуть. Но скатерть болѣе и болѣе горѣла. Къ счастью Хаи, мимо шинка шелъ солдатъ, и она позвала его. Онъ погасилъ огонь и сталъ требовать водки.

— Шинкарка не пришла,—отвѣчала Хая.

— Мнѣ что за дѣло до вашей религіи. Подай водки.

— Нельзя.

Солдатъ вошелъ самъ въ шинокъ, нацѣдилъ стаканъ и выпилъ, къ великому ужасу Хаи, цѣлыхъ два стакана.

Вечеръ былъ теплый, лунный. Евреямъ нечего дѣлать, у нихъ начался шабашъ, и они прохаживаются впередъ и обратно по улицамъ; ходятъ и еврейскія дѣвицы. Всѣ идутъ медленно, едва переступая ногами по два, по три человѣка въ рядъ посреди улицы, по которой теперь ни одинъ еврей не поѣдетъ и ничего не понесетъ. Если попадутся навстрѣчу евреи или еврейки, они проходятъ мимо, не кланяясь и не заговаривая. На лицахъ видится или печаль, или довольство. Но есть еще вещь, которая бросается въ глаза—это то, что трудно найти въ числѣ гуляющихъ еврея статнаго: если у кого нѣтъ горба, тотъ все-таки кажется сгорбившимся; это замѣтно даже между мальчиками. И Янкель ходилъ съ сыновьями, за нимъ шелъ мальчикъ—христіанинъ, живущій у Гирши.

— Яшка!—сказалъ вдругъ Янкель, оборачиваясь.—Подотри носъ...

Яшка досталъ изъ-за пазухи платокъ и утеръ носъ Янкелю.

По еврейскому закону, пожилой еврей ничего не долженъ носить въ рукахъ въ шабашъ тамъ, гдѣ есть русскіе. Поэтому, нельзя имѣть при себѣ платка. Янкель съ сыновьями долго ходилъ, такъ что уже многіе легли спать; вдругъ къ нимъ подошелъ полицеймейстеръ съ женой и съ пріѣзжимъ гостемъ. Ихъ очень удивило, что трое евреевъ, глядя на луну, то-и-дѣло «дрыгаютъ», т. е., стоя на пальцахъ, трясутся и потомъ вдругъ всѣ вразъ выкрикнутъ еврейское слово.

— Эй вы?—крикнулъ полицеймейстеръ.

Евреи, хотя и знали голосъ полицеймейстера, но не прерывали своего занятія.

— Вамъ говорятъ?—кричалъ полицеймейстеръ.

Но евреи не обращали никакого вниманія, даже не повернули головъ.

— Полиціантъ! сходи за цирюльникомъ!

Евреи обернулись и перестали молиться.

— Кто вы такіе?—крикнулъ полицеймейстеръ на евреевъ.

— Дворкины,—сказалъ рѣзко Янкель.

— Хорошо. Полиціантъ! Иди и приведи цирюльника.

— Ваше в—іе!—завопили евреи.

— Я вамъ покажу... Ты зачѣмъ по-еврейски нарядился? А?! дернулъ полицеймейстеръ Янкеля за лѣвый пейсикъ.

— Ваше в—іе, что хотите...

Полиція была близко, и скоро явилось четверо полиціантовъ съ цирюльникомъ.

— Стриги!

Евреи завопили.

X.

Въ субботу, утромъ, хотя и рано пробудились всѣ Дворкины, но долго лежали, потому что имъ ничего нельзя дѣлать. Лежа они вели разные разговоры о чиновникахъ, о торговлѣ, которая съ каждымъ днемъ падаетъ, потому что жителей годъ отъ году увеличивается. Но лежать надоѣло, безъ дѣла скучно. Встали всѣ и стали ходить изъ угла въ уголъ. Яковъ и Хая подали мужчинамъ еврейскія книги, усѣлись около мужей женщины и стали слушать чтеніе. Но не о чтеніи думали женщины, да и мужчинамъ слова не шли на умъ. Вотъ зашелъ сосѣдъ; стало немного веселѣе.

— Что это, Гирша, у насъ во дворѣ чѣмъ-то дохлымъ пахнетъ?—сказала Гитля мужу.

— Не подохла ли свинья?

— Цѣлы всѣ.

— И я замѣчаю, что пахнетъ сказалъ Янкель.

Но скоро заговорили о желѣзной дорогѣ, пришелъ еще сосѣдъ, и началась дружеская бесѣда.

Стали стучаться въ шинокъ, въ лавку, но всѣмъ говорили, что сегодня шабашъ и продать ничего нельзя. Наконецъ, пришелъ чиновникъ прямо въ комнату Янкеля.

— Я, братъ, тебѣ деньги принесъ. Долгъ,—сказалъ онъ.

— Не могу получить.

— Почему?

— Потому что шабашъ.

— Ну, давай водки...

— И этого не могу... Вечеромъ, послѣ шабаша, можно, а теперь ни брать, ни получать ничего нельзя.

Чиновникъ ушелъ. Входитъ писарь.

— Дайте ради Христа табачку—умираю!

— Хоть озолоти, не могу.

— Я самъ возьму, деньги положу на столъ.

— Хоть умри, нельзя.

Обѣдать усѣлись всей семьей: Янкель со старухой, которая къ этому времени поправилась, Шмуль и Гирша съ женами, но обѣдъ состоялъ только изъ маринованной щуки съ лукомъ, чесноком и кореньями, и изъ опресноковъ. Послѣ обѣда легли спать, но никому не спалось.

Въ городѣ тоже было пусто, точно всѣ вымерли, только и видно военныхъ, да гражданскихъ чиновниковъ.

Вдругъ въ кухню Гирши вбѣгаетъ Хая и кричитъ:

— Ай! ай! Гвалтъ! повѣсилась!

Гирша и Гитля вскочили съ кровати.

— Кто? кто?

— Лея.

Въ одну минуту всѣ Дворкины были во дворѣ, но никто не шелъ къ тому мѣсту, куда показывала Хая.

Всѣ были въ испугѣ, дрожали, смотрѣли другъ другу въ лицо, какъ-будто спрашивая: что это значитъ?

Янкель кое-какъ прошелъ въ темную клѣтушку, заставленную разными вещами и, вернувшись оттуда, сказалъ:

— Виситъ Лея.

За нимъ поочередно пролѣзли и остальные. А такъ-какъ говорили громко, то скоро дворъ наполнился евреями и еврейками. Всѣ были въ страшномъ переполохѣ, голосили и обвиняли Дворки-

ныхъ. Янкель ругалъ и билъ Шмуля, Гиршу и Малку.

— До кагала Дворкиныхъ! до кагала!

— Эдакой грѣхъ! Позоръ для евреевъ!

Вошелъ во дворъ солдатъ.

— Что у васъ за сборище?

— Не твое дѣло! Пошелъ вонъ!.. Гоните солдата!

Солдата выгнали, и всѣ повалили въ школу. Скоро школа была биткомъ набита. Въ дверяхъ стояли евреи и не пускали никого изъ русскихъ.

— Это наказаніе Божіе за нашу спѣсь, за то, что мы слабы въ вѣрѣ!—кричалъ раввинъ.

Евреи голосили, разобрать ничего нельзя было, унять тоже. Всѣ ругали Дворкиныхъ, а особенно Янкеля, который сидѣлъ, понуривъ голову.

— Изгнать изъ общества!—кричали въ одномъ мѣстѣ.

— Они всѣ свѣчки скупили и продаютъ по два злота фунтъ!

Цѣлыхъ два часа шла кутерьма Раввину большого труда стоило возстановить спокойствіе, и когда стало немного тише, онъ началъ:

— Слушайте! Такіе случаи у насъ, въ еврейскомъ народѣ, довольно рѣдки. Они посылаются Богомъ за наши преступленія... Но видитъ Богъ, что наши преступленія происходятъ не отъ насъ. Мы народъ не свободный... Настоящій случай надо отнести къ безпечности Дворкиныхъ, которые довели свою рабыню до самоубійства, а насъ до позора...

Народъ закричалъ. Всѣ кинулись на Дворкиныхъ и Богъ знаетъ, что̀ бы случилось, еслибъ не явилась полиція.

— У насъ свой судъ! Еврейка наша, мы ее и похоронимъ, а съ Дворкиными раздѣлаемся сами.

— Позвать на свидѣтельство госпитальнаго доктора, который евреевъ лѣчитъ! кричали евреи. Но полицейскіе успѣли оттереть Дворкиныхъ, которые были до того избиты, что едва держались на ногахъ.

За полицейскими народъ повалилъ къ Дворкинымъ. Тамъ началась драка полицейскихъ съ евреями, которые просили оставить трупъ до завтра. Но полицейскіе сняли трупъ, положили на землю и послали за городскимъ врачемъ. Врача въ городѣ не оказалось, и трупъ унесли въ полицію при ожесточенныхъ крикахъ евреевъ.

— Ну, голубчикъ! гора съ горой не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ всегда сойдется.

Хоть ты и хорошъ, а я тебя возьму въ кутузку! проговорилъ благодѣтель-частный Янкелю и велѣлъ взять его съ сыновьями.

— Но чѣмъ же мы виноваты? вѣдь она повѣсилась!—говорили Дворкины.

— Все равно; я васъ беру для безопасности.

И Дворкиныхъ увели въ полицію.

Народъ не пошелъ за ними, но долго стоялъ у дома Дворкиныхъ и вопилъ, что не слѣдовало бы изъ-за дѣвчонки поднимать такой гвалтъ, потому что теперь начнутся спросы да вопросы, а, пожалуй, и раскошеливаться придется. Не унывала только одна Гитля.

Нарядившись въ лучшее платье, она пошла къ богатому купцу еврею и разсказала о несчастіи, постигшемъ ея мужа, Янкеля и Шмуля.

Къ вечеру Дворкины явились домой, но уже безъ пейсиковъ, которые не скоро отростутъ!

Тетушка Опариха.

Бывши въ дорогѣ прошлымъ лѣтомъ между Е. и Т., я захворалъ. Ѣхалъ я на порожнихъ: обозный ямщикъ ѣхалъ въ Т. за кладью. И несмотря на то, что мы ѣхали съ пустыми телѣгами, лошади шли шагомъ, и ямщикъ не понуждалъ ихъ, говоря, что надо же и имъ, т. е. лошадямъ, вольготность дать. А такъ какъ лошади шли тихо, то телѣгу сильно трясло, такъ что, проѣхавъ такимъ манеро́мъ двѣсти пятьдесятъ верстъ, я подумалъ отдохнуть гдѣ-нибудь.

Объявилъ я о своей болѣзни ямщику, тотъ ничего не сказалъ. Объявилъ въ другой разъ — онъ улыбнулся и какъ-то недовѣрчиво посмотрѣлъ мнѣ въ лицо. Однако я потомъ уже надоѣлъ ему.

— И!.. Что жъ такое—болѣзнь!.. И отчего у те болѣзнь?..

Я сталъ его увѣрять, что болѣзнь и съ нимъ можетъ случиться; онъ съ этимъ согласился и разсказалъ, какъ въ которомъ-то году онъ такъ захворалъ въ дорогѣ, что его чуть не мертваго привезли въ село, и какъ его вылѣчила тетушка Опариха; потомъ онъ вдругъ спросилъ меня:

— Больно болитъ-то?

— Больно, хоть помирать, такъ въ ту же пору.

— Эко дѣло!.. Гм... На постоялый не пустятъ, потому—помилуй Богъ... возня! А ихнее дѣло тоже... гдѣ возжаться!.. Одного разу эдакъ семинаристъ на постояломъ захворай... Такъ что жъ ты бы думалъ?.. Всѣ отъ него захворали... Бѣда!.. Увели къ одному мужику—и тамъ всѣ захворали... Оказія!..

— Ну, моя болѣзнь не такая.

— Кто тебя знаетъ... А ты ужо потерпи денекъ-то... право! можетъ вѣтеръ-то и разнесетъ... Можетъ и пройдетъ... А тутъ къ Опарихѣ.

— Что же это за женщина?

— Женщина? — ямщикъ замолчалъ и немного погодя началъ: — женщина, скажу я тебѣ, вотъ какая: супротивъ ея никто!.. Право. Мекаю я: ума у ней напрятано вездѣ много... баба, скажу я тебѣ, особая!

— Какъ такъ?

— Да такъ: на все мастерица. Нашимъ бабамъ— и!!. Въ науку бы ихъ всѣхъ къ ней... Ну, и опять тоже баба ходокъ... Такой ходокъ, что я не слыхивалъ окромя ее. Вотъ тѣ Христосъ.

— Чѣмъ же она занимается?

— Всѣмъ. Чѣмъ ни захошь—всѣмъ!.. Что ни вздумай—это она... Вотъ она какая!..

Ямщикъ замолчалъ и какъ я ни просилъ его опредѣлить мнѣ занятія Опарихи, онъ сперва только хвалилъ ее, а потомъ сказалъ:

— Увидишь. На что вотъ это: ежели бы ты,

помилуй Богъ, слышать пересталъ, — вылѣчитъ!.. Ей-ей, вылѣчитъ, да такъ, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра!..

Я такъ и заключилъ, что тетушка Опариха мѣстная лѣкарка. Подобныхъ лѣкарокъ я знаю много, и поэтому меня нисколько не удивила восторженность ямщика. Однако я спросилъ его:

— А что, если я не въ состояніи буду ѣхать дальше, можно остановиться у Опарихи?

— Безъ сумлѣнія. На меня положись,—все сдѣлаю, только ежели застанемъ ее.

— А она развѣ не всегда дома бываетъ?

— Не всегда. Можетъ, въ городъ уѣхала.

— Что жъ она тамъ дѣлаетъ?

— Что? Мало ли у ней хлопотъ-то?.. Можетъ, и продавать что уѣхала, а можетъ, что и выглядѣть.

И такъ, Опариха еще торговка, а можетъ быть у нея есть еще какія-нибудь занятія. Тетушка Опариха стала интересовать меня. Перебирая въ памяти различныхъ женщинъ, занимающихся какимъ-нибудь ремесломъ безъ мужской помощи, и пріобрѣтающихъ себѣ пропитанія на столько, на сколько нужно для существованія простой сельской женщины, я пришелъ къ тому заключенію, что Опарихѣ трудно одной имѣть нѣсколько дѣлъ и въ селѣ, и въ городѣ. Вѣроятно, у нея есть какой-нибудь помощникъ, думалось мнѣ.

— Опариха замужемъ?—спросилъ я ямщика.

— Овдовѣла годовъ чуть ли не пятнадцать. А что?

— Значитъ она старуха?

— Старуха!!—ямщикъ захохоталъ и прибавилъ: —за поясъ заткнетъ десятерыхъ молодыхъ, вотъ что...

— Семейство у нея есть?

— Нѣту—одна.

На этомъ мы и покончили разговоры объ Опарихѣ. Мнѣ захотѣлось познакомиться съ нею; ямщикъ сказалъ, что коли я дамъ на полштофъ, онъ все дѣло справитъ какъ нельзя лучше.

Черезъ день мы пріѣхали въ село. Село это стоитъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ большой дороги; и ѣхали мы черезъ него для сокращенія пути. Какъ и вездѣ, село не отличается изяществомъ построекъ, и окружающая его мѣстность не очень привлекательна. Расположено оно на ровномъ мѣстѣ, пересѣкаемомъ двумя маленькими рѣчками, черезъ которыя сдѣланы мосты въ томъ мѣстѣ, гдѣ идетъ дорога. Дома большею частью двухъ и трехъ-оконные, съ высокими крышами, съ крытыми соломой сараями. Всѣ они выходятъ кривою линіею на широкую дорогу—единственную въ селѣ улицу. Передъ нѣсколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или еще довольно молоды, или уже засохли, и посажены они, какъ объяснилъ ямщикъ, не изъ желанія имѣть передъ глазами дерево или ради украшенія, а по приказу станового пристава; «суть» приказа становой не объяснилъ крестьянамъ, но крестьяне думаютъ, что они растутъ для того, чтобы въ случаѣ расправы не ходить далеко въ лѣсъ за вицами. Въ селѣ есть деревянная, невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами и вокругъ нея недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяютъ костюмами: мужики ходятъ въ синихъ изгребныхъ рубахахъ и штанахъ, босые; женщины въ синихъ изгребныхъ сарафанахъ, съ платками и безъ платковъ на головѣ, также босыя; дѣвушки въ такихъ же сарафанахъ и, въ отличіе отъ женщинъ, съ открытыми головами и болтающимися сзади косами, безъ лентъ, завязанными ветхимъ и замасленнымъ до чрезвычайности шнуркомъ. Нельзя также сказать и того, чтобы какъ дѣвушки, такъ и мужчины были красивы, но здоровьемъ и дородствомъ обладаетъ по преимуществу женскій полъ. Около дворовъ, позади построекъ, огородовъ нѣтъ, а огородные овощи ростутъ на полѣ, вперемежку со льномъ. Направо, смотря съ дороги, за селомъ, по холмистой мѣстности разстилаются пашни съ желтѣющей рожью или съ сѣрою кочковатою землею; налѣво растетъ мелкій кустарникъ.

Когда мы пріѣхали въ село, былъ полдень; погода стояла пасмурная. Я чувствовалъ себя лучше, но мнѣ хотѣлось пожить здѣсь съ недѣлю, и мой ямщикъ остановилъ лошадей у одного трехоконнаго дома, стоящаго наискосокъ отъ церкви. Домъ этотъ своею плаксивою наружностью ничѣмъ не разнился отъ другихъ построекъ. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердакѣ, безъ рамы и стеколъ, такія же черныя съ вырѣзками ворота, такая же соломенная крыша на сараѣ, такія же въ оконныхъ рамахъ разбитыя стекла, заклееныя бумагой или заткнутыя тряпками, такой же на трубѣ горшокъ, положенный въ опрокинутомъ положеніи для того, чтобы вѣтеръ не гналъ дыма обратно въ избу.

Ямщикъ постучалъ въ одно окно. Въ домѣ какъ будто никого не было. Поэтому онъ пошелъ во дворъ, и немного погодя, вышелъ оттуда съ дѣвушкой лѣтъ десяти или двѣнадцати.

— Нѣту, ушла...—сказалъ ямщикъ.

— Такъ какъ же?

— Да надо подождать... Ты, посиди а я схожу...

Ямщикъ пошелъ и скрылся за церковью.

Четверо ребятъ подошли къ телѣгѣ и съ боязливымъ любопытствомъ смотрѣли на меня. У меня была въ узлѣ городская булка, и я, желая расположить къ себѣ ребятъ, показалъ имъ булку, но они долго боялись подойти ко мнѣ. И когда одинъ изъ нихъ, мальчикъ побойчѣе другихъ, взялъ хлѣбъ, то другіе окружили его, нѣсколько минутъ ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ѣли.

— Что жъ вы не ѣдите?—спросилъ я.

Они улыбнулись, хотѣли что-то сказать, но замялись и попятились назадъ.

Пока я думалъ, чѣмъ бы мнѣ приласкать ихъ, показался мой ямщикъ, идущій позади какой-то высокой худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался какъ можно лучше разсмотрѣть ее.

Шла она, глядя въ землю, какъ будто что-то соображая. На ней былъ синій изгребной сарафанъ, на головѣ ситцевый изгребной платокъ, ноги босыя. На видъ ей казалось годовъ сорокъ, но на продолговатомъ блѣдномъ лицѣ не было ни одной мор-

щинки. Нельзя сказать, чтобы лицо ея было красиво; не замѣчалось на немъ и той блѣдности, какая бываетъ у отцвѣтшихъ красавицъ; губы плотно сжаты, такъ что подбородокъ поднялся выше обыкновеннаго; носъ широкій, толстый, глаза сѣрые, лобъ низкій. Но это было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя, неизвѣстно почему, нравятся все болѣе и болѣе по мѣрѣ того, какъ вы вглядываетесь въ нихъ. Несмотря на строгій взглядъ сѣрыхъ глазъ, въ выраженіи лица было что-то такое, что сразу привлекаетъ и долго остается въ памяти. Я снялъ фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула дѣвочкѣ:

— Ты что тутъ, образина!.. Такъ разѣ вяжутъ?

Голосъ былъ здоровый, даже очень крикливый. Дѣвочка юркнула во дворъ. За ней вошла и женщина.

Ямщикъ сказалъ, что эта женщина — тетушка Опариха, отворилъ ворота и ввелъ лошадей во дворъ, не очень длинный, но крытый, какъ на постоялыхъ дворахъ, и могущій вмѣстить въ себѣ до десяти возовъ.

Вошли мы по лѣстницѣ сперва на крыльцо, потомъ въ просторныя сѣнцы, гдѣ было душно, и куда свѣтъ проходилъ только изъ дверей. Налѣво вели двери въ просторную избу съ двумя окнами, выходящими на дорогу, и однимъ — во дворъ; направо была небольшая горенка съ однимъ окномъ.

Несмотря на то, что съ виду домъ казался старымъ, внутри этого не было замѣтно: стѣны не покосились, половицы не скрипѣли, полати на видъ крѣпки, на печкѣ незамѣтно ни одной щели. Стѣны какъ избы, такъ и горенки бревенчатые, въ избѣ очень весело, чисто, пахнетъ вареной капустой и только-что вынутымъ изъ печки ржанымъ хлѣбомъ. Одно только неудобство въ этой избѣ,—много мухъ, но на нихъ хозяйка не обращала никакого вниманія.

Я сѣлъ къ окну; и вдругъ у меня появилось желаніе пожить нѣсколько дней въ этомъ домѣ. Мнѣ все показалось въ немъ мило, даже самое село сдѣлалось мнѣ милѣе всякихъ городовъ. Хозяйка накрыла столъ изгребной синей скатертью, принесла хлѣба, ложекъ. По счету ложекъ я замѣтилъ, что она намѣрена была и меня угостить.

Ямщикъ усѣлся за столъ. Хозяйка стала угощать его пивомъ и сѣтовала на нынѣшнее дождливое время.

— Ну, какъ у те урожаи-то?—спросилъ ямщикъ.

— Слава Богу, ничего... А ты-то что смотришь? Садись!—сказала она мнѣ.

— Не могу, нездоровъ.

— Поѣшь, лучше будетъ.

Я сѣлъ и показалъ видъ, что ѣмъ черезъ силу, но между тѣмъ уплеталъ съ аппетитомъ, ибо былъ голоденъ. Насъ сидѣло за столомъ только трое; дѣвушка въ горенкѣ пряла кудель. Ямщикъ, какъ видно, былъ коротко знакомъ съ Опарихой, но относился къ ней какъ къ женщинѣ практичной и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ совѣтовался съ ней; она давала совѣты толковые и подходящіе къ крестьянскому быту. Ямщикъ говорилъ о своей женѣ.

— Не могу я, тетушка, способиться съ ней. Такая безшабашная,—страсть... Теперича я пріѣзжаю домой. Ну, сама знаешь, съ дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить... Тоже, поди-ко, хозяйство, ребятишки... А она, чтобъ ее... говорятъ: въ городъ ушла, какъ и о прошлую пору... Ну, не обида ли?

— Не надо бы жениться на ней.

— Ды чортъ въ ея душу-то поганую влѣзетъ, прости меня, Господи... Право, кусокъ нейдетъ въ горло... Такъ мнѣ все опротивѣло дома; такъ бы и не глядѣлъ ни на что. Только ребятъ-то и жалко, а то бы плевать...

— Ну, и что жъ, ты видѣлъ жену-то?

— Прожилъ я четверы сутки—явилась. Я ничего, молчу,—потому что жъ ее безпокоить, да и бить—руки не стоитъ марать. А она, тетушка, какъ есть, не поздоровалась со мной, сѣменитъ по домашности: только теща ворчитъ: «у, ты, говоритъ, такая, сякая!».—А мнѣ: «что жъ ты, рази чужой? Полѣномъ, говоритъ, ее»... А мнѣ сердце какъ будто ножемъ рѣжетъ... Вышелъ я изъ избы да къ куму, тотъ употчевалъ лихо... Такъ на пятые сутки и уѣхалъ. И ума не приложу: что это съ ней? Вѣдь и учивалъ я ее, да только толку-то нѣтъ.

Тетушка вздохнула и сказала:

— Ты бы ей хорошенько растолковалъ: молъ, хоть бы для ребятъ-то старалась. Ну, сама посуди, каковы дѣти то будутъ, коли мать такая: рази они не понимаютъ?

— То-то!

— То-то, мужчины вы, а смекалки у васъ нѣтъ. Я тѣ что говорила раньше — забылъ? Теща-то у васъ какова? не отъ нея ли всѣ эти штуки?

Ямщикъ почесалъ голову, причемъ кожа на лбу поднялась выше обыкновеннаго и образовала нѣсколько морщинъ; глаза приняли соображающее выраженіе; онъ какъ будто говорилъ: «и этого, молъ, я не обдумалъ раньше».

Разговоръ объ этомъ предметѣ скоро замѣнился примѣрами тетушки Опарихи, которая защищала только однѣхъ женщинъ и доказывала, что въ подобныхъ случаяхъ виноваты сами мужчины. Однако ямщикъ не вполнѣ соглашался съ ней.

Отобѣдали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщикъ пошелъ во дворъ къ своимъ лошадямъ; я за нимъ.

— Ну, что: видно ѣхать надо? — спросилъ я ямщика.

— Тебѣ что ли? И не возьму... хоть ты кому хошь жалься—не возьму.

— Но гдѣ же я буду жить? Вѣдь ты ей не говорилъ ничего?

— Не съ бухты-барахты...

Я пошелъ къ крыльцу.

— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крылечкѣ-то.

Просидѣлъ я съ часъ. Ямщикъ между тѣмъ уладился съ лошадьми и справилъ все, что слѣдуетъ для дороги, даже овса и сѣна взялъ у Опарихи въ долгъ. У амбарной двери ямщикъ разговаривалъ съ Опарихой, дѣлая различные жесты руками, сни-

мая шапку и утирая лицо грязнымъ платкомъ, лежавшимъ постоянно въ шапкѣ. Хозяйка не дѣлала никакихъ жестовъ, но замѣтно было, что сообщаемое ямщикомъ было ей не по сердцу, такъ какъ она нѣсколько разъ порывалась тронуться съ мѣста и уйти. Что они говорили между собою, я не слышалъ. Только смотрю, ямщикъ отпираетъ ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.

— А ты что?— спрашиваетъ она меня. Я понялъ, что вопросъ означаетъ: зачѣмъ я сижу?

— Нездоровъ я, тетушка.

— То-то нездоровъ? а ѣлъ зачѣмъ не въ мѣру?

— Обидѣть не захотѣлъ.

— Кака болѣзь-то? Лиха немочь, что ли?

Я молчалъ.

— Прыказей?

— Да,—сказалъ я тономъ больного.

— Пачпортъ-то у те наперво надо оглядѣть... Ну-ко?

Ямщикъ стоялъ у крыльца и что-то часто чесалъ голову. Онъ боялся ударить лицомъ въ грязь, не зная, что я за человѣкъ. Отъ моего паспорта зависѣло расположеніе къ нему Опарихи.

Мы вошли въ избу.

Отдалъ я мой паспортъ Опарихѣ. Она поглядѣла на писаніе, на печать; подозвала ямщика, потомъ сказала: отойди! и крикнула:

— Окулька!

Явилась дѣвочка

— Неси свѣчку.

Дѣвочка не торопясь ушла и черезъ нѣсколько минутъ пришла съ зажженной сальной свѣчей.

Опариха взяла мой паспортъ въ обѣ руки и, держа его между собою и свѣчкой, стала глядѣть на него. Вѣроятно она хотѣла удостовѣриться, дѣйствительно ли бумага гербовая.

— Фальша!—сказала она; но въ ту же минуту взяла свѣчку и ушла въ сѣнцы; за нею вышли ямщикъ, дѣвочка и я.

— Ербова?.. гляди!—сказала она ямщику.

— Ербова! цѣна рупь... цифру вишь?

— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые... Окулька, гляди!

Дѣвочка тоже стала глядѣть и сказала: птица!

Затѣмъ хозяйка, спрятавъ мой документъ въ карманъ сарафана, ушла въ избу, изъ избы въ горницу; дѣвочка спустилась во дворъ и стала загонять къ одному углу курицъ, а ямщикъ тронулся.

— Счастливо оставаться,—сказалъ онъ мнѣ.

Такъ какъ безъ паспорта я не могъ ѣхать, то и не сталъ задерживать ямщика. Онъ даже не спросилъ съ меня на полштофъ, вѣроятно, потому, что по разсчету онъ долженъ бы былъ возвратить мнѣ около двухъ рублей денегъ.

По отъѣздѣ ямщика я сѣлъ на крыльцѣ.

Было очень скучно, въ особенности съ дороги, когда хочется спать. Въ другое время и при другомъ положеніи я уснулъ бы сидя, гдѣ попало; но теперь въ незнакомомъ мѣстѣ могъ ли я спать, думая: а вотъ-вотъ выйдетъ хозяйка, что-то она скажетъ?

— Ты что жъ тутъ торчишь? — услышалъ я вдругъ сердитый голосъ.

— Извини, тетушка... ямщикъ не взялъ: я, говоритъ, боюсь, какъ бы мнѣ плохо не было дорогой.

— То-то не взялъ! Чай у те и пачпортъ-то не настоящій... Ну, чего сидишь тутъ?

Я не зналъ, что мнѣ дѣлать: отправиться ли въ избу или итти куда-нибудь.

— Окулька, постели кошму-то въ сѣняхъ!— крикнула хозяйка дѣвочкѣ и потомъ сказала мнѣ: ты лягъ тамъ въ сѣняхъ, тулупомъ одѣнься, взопрѣй... Ужо малины дамъ исцить.—Она ушла въ избу.

Немного погодя, я уже лежалъ въ сѣняхъ на широкой скамьѣ, куда принесли войлокъ, подушку и овчинный тулупъ. Лежалъ я раздѣвшись, накрылся пальто, а не тулупомъ, потому что въ сѣняхъ было и безъ тулупа жарко. Хозяйка принесла мнѣ чайникъ и чашку. Чайникъ былъ горячій.

— Вотъ пей,—сказала она и поставила чайникъ и чашку на полъ.

— Покорно благодарю, тетушка... Какъ бы не ты, не знаю, что бы...

— Ну... завтра баню истоплю... Теперь только согрѣйся.

Хозяйка ушла въ избу, и минуты черезъ три изъ избы послышался крикъ хозяйки и плачъ дѣвочки.

— Это что? Я тебя что заставляла дѣлать?... лодырничать?! Вотъ! вотъ!

Хозяйка била дѣвочку.

— Въ уголъ, на колѣни!—кричала хозяйка.

Скоро я заснулъ.

Рано утромъ встала хозяйка, растолкала пинками дѣвочку и заставила топить баню. Такъ какъ я лежалъ въ сѣняхъ не противъ двери въ избу, то и не видалъ, что дѣлала хозяйка, только слышалъ, что она щепала лучину, шлепала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ногъ, ругала кого-то чортомъ, что-то шептала, и, когда воротилась дѣвочка, она ее два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлѣбную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла какъ слѣдуетъ деревянную чашку и т. п. Хозяйка стряпала, а дѣвочка бѣгала взадъ и впередъ то по избѣ, то по сѣнямъ, ругая шопотомъ хозяйку.

Не знаю, сколько времени я пролежалъ, переворачиваясь съ боку на бокъ. Вдругъ въ сѣни входитъ крадучись невысокаго роста мужикъ въ зипунѣ.

— Здорово живете! — сказалъ онъ и снялъ шляпу, обращаясь къ моему ложу. Вѣроятно, онъ принялъ меня за члена семьи.

Я промолчалъ.

— Дома тетушка-то Степанида Онисимовна?

— Дома.

Крестьянинъ вошелъ въ избу и не заперъ за собою двери. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и разспросовъ съ обѣихъ сторонъ о здоровьи, настало молчаніе.

— А я къ тебѣ, тетушка Онисимовна, со своимъ съ горемъ... Охъ!

— Какое у тебя опять горе? Въ кабакъ что заложилъ опять?

— Охъ, не то, тетушка... Кабакъ что!.. А вотъ оно, горе-то, и не думалъ совсѣмъ... Кабы зналъ... Вѣдь лошадь-то пала.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Истиннымъ Богомъ говорю.

Настало опять молчаніе; только слышно было, какъ крестьянинъ всхлипывалъ.

— И думалъ ли я?.. И что это за годъ нонѣ: первую лошадь украли, а эта пала... А лошадь-то какая лядащая была... Ну, что я теперь за крестьянинъ?

— Ужъ истинно годъ нонѣ такой. Сколько лошадей-то пало!

— И не говори... Всѣ то же говорятъ: моръ такой, что и не бывало такого... Такъ, какъ ты думаешь насчетъ этого?

— Повремени маленько. Капиталъ-то есть ли?

— Ни... Вотъ одна надежда была: рѣпы, молъ, продамъ...

— Ну, на рѣпу-то много не полагайся... подожди овса... это лучше.

— Да что овесъ...

— Какъ что? А ты продай мнѣ его! сколько возьмешь?

— Не хотѣлось бы продавать-то...

— Да и не все.

— Надо хозяйку спросить.

Тетушка и гость снова замолчали. Первый прервалъ молчаніе крестьянинъ.

— Ну, а ты сколько назначишь на счетъ овса-то?

— Почемъ я знаю, сколько выдетъ? Надо на дѣлѣ увидать, да потомъ и дать цѣну.

— Это ты справедливо... А вотъ я смекаю: Илька Козловъ ужъ давно хочетъ пропить свою лошадь.

— Вотъ и покупай.

— То-то что денегъ нѣту.

— Достанемъ. Только ты насчетъ овса рѣшай дѣльнѣе да толкомъ, чтобы опосля ни тебѣ, ни мнѣ не было въ обиду.

— Всего-то жалко, потому прикупать не хотѣлось бы.

— Ну, тамъ увидимъ.

Немного погодя, крестьянинъ, поблагодаривъ хозяйку за совѣтъ, ушелъ, разговаривая самъ съ собою вполголоса.

Черезъ полчаса послѣ ухода крестьянина, къ моему ложу подошла дѣвочка и робко сказала мнѣ:

— Тетенька велитъ итти—баня поспѣла.

— Скажи, что я не могу такъ итти,—отвѣтилъ я, указавъ на себя.—Она всю одежду обобрала.

Дѣвочка ушла, но скоро воротилась.

— Тетенька такъ велитъ,—сказала она и ушла.

Я лежалъ.

— Ты что жъ? — Двадцать разъ что ли тебя посылать-то?

— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.

— Да вѣдь я говорила дѣвчонкѣ, чтобъ ты шугайчикъ надѣлъ... Ахъ, чтобъ ее!.. нисколько у ней нѣтъ разсудку.—И хозяйка дала свой шугайчикъ, который мнѣ былъ до колѣнъ. Въ этомъ одѣяніи и босой я пошелъ въ баню. Хозяйка однако воротила меня отъ двери въ огородъ.

— Возьми да натрись камфарой хорошенько, попрѣй... Слышишь, что я говорю?—кричала она мнѣ, держа въ рукахъ пузырекъ.

Я воротился, взялъ пузырекъ съ камфарой.

Хотя вообще въ этомъ селѣ огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки, по выходѣ изъ двора за погребами, было устроено нѣсколько парниковъ, ничѣмъ не покрытыхъ; большею частью въ этихъ парникахъ росли огурцы и тыквы, стебли которыхъ тянулись кверху по жердочкамъ. Невысокая съ небольшимъ отверстіемъ въ стѣнѣ черная баня, безъ крыши и предбанника, стояла около рѣчки. Въ банѣ было и темно, и жарко, пахло уксусомъ, вѣроятно, потому, что его лили на каменку для того, чтобы не было угару.

Находившуюся въ пузырькѣ камфару я до половины розлилъ на полу бани для вида и, само собой разумѣется, не терся ею.

— Ну, что?—спросила меня хозяйка, когда я пришелъ изъ бани.

— Покорно благодарю. Ну, ужъ и жарко же.

— На то и баня... легче ли?

— Немного легче.

— А что же это отъ тебя камфарой не пахнетъ? Терся ли ты?—вдругъ спросила она меня.

— Теръ много.

— А отчего же не пахнетъ?

— Можетъ-быть, у тебя носъ заложило.

— Поговори еще... Поди, лягъ на свое мѣсто, а тамъ увидимъ. Можетъ, завтра и въ путь можешь обратиться.

Это рѣшеніе хозяйки мнѣ очень не понравилось, но я думалъ, что упрошу ее дозволить мнѣ пожить у ней сутокъ двое, трое. Дѣлать нечего, опять легъ. Вдругъ хозяйка кричитъ въ избѣ:

— Это что за мода еще! Какое это такое дозволеніе ты получила въ овечку мою палкой швырять?

На улицѣ голосила женщина, но я не могъ разслышать ея словъ; хозяйка все болѣе и болѣе кричала, начала ругать женщину и съ бранью выбѣжала на дворъ, на улицу. Сначала женщины кричали на улицѣ, потомъ уже у крыльца.

— Ты ужъ шесть разъ соборовалась, въ седьмой околѣешь!—кричала посторонняя женщина.

— Нечего меня болѣзнью упрекать—всѣ подъ Богомъ ходимъ. А вотъ ты сама-то какой поведенціи!..

— Ты только съ бѣглыми знаешься. Не знаютъ, что ли, что у те и теперь бѣглый скрытъ!

Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, такъ и думалось, что онѣ вцѣпятся другъ въ дружку; кончилось тѣмъ, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потомъ долго ворчала въ избѣ.

— Изъ-за чего это у васъ вышло?—спросилъ я хозяйку, когда она стала что-то искать въ сѣняхъ.

— Ну, вотъ самъ посуди, гожее ли это дѣло; разъ—кричать на улицѣ, другой—обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, къ примѣру, поведенціи? спроси хоть кого, всѣ скажутъ обо мнѣ, что я, можетъ-быть, въ тыщу разъ честнѣе ея. Теперь, кто ко мнѣ за совѣтомъ ходитъ? Слыхалъ, поди, даве разговоръ-то?.. Всѣмъ надо угодить да помочь чѣмъ-нибудь, а вѣдь я тоже не богачка жакая, золота ни одного разу не видывала... Да мало ли что?.. Меня и въ городѣ всѣ знаютъ, потому у меня тамъ торговля есть, хоть и не корыстная, а все жъ не воровски торгую, слава тѣ Господи... А она обзывать? Да я ее послѣ этого во всемъ селѣ обезславить могу, да и тутъ жалѣю, потому мужъ-то ее и такъ бьетъ.

Она подошла ко мнѣ ближе, утерла правою рукою ротъ и, понизивъ тонъ, продолжала:

— И какъ бьетъ онъ ее, сударь ты мой, какъ бьетъ, просто не приведи Царица небесная!.. Мой мужъ драчунъ былъ, да я справлялась съ нимъ, да и то, когда это во хмѣлю, ну, а во хмѣлю всякъ справится, умѣй заговорить, или поблажку ему сдѣлай, потому пьянъ и безчувственъ,—вино ходитъ... Да и опять мой мужъ, какъ проспится бывало, прощенія проситъ: прости, говоритъ, Онисимовна; ты, говоритъ, баба золотая, за тобой никакихъ примѣтъ худыхъ нѣтъ. А ужъ коли мужъ говоритъ, могу ли я не гордиться! А это что? И рожа-то у ней блинъ... провалиться! и сама спичка спичкой... И въ дѣвчонкахъ была со всѣми въ ссорѣ, ни съ кѣмъ не ладила; воровка была сосвѣтная... Сколько разъ стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха нашли... Такъ нѣтъ. Иная бы все къ дому, о хозяйствѣ бы попеченіе имѣла, а эта все изъ дому, да съ солдатомъ и связалась.

— Отчего же у васъ ссора-то вышла сегодня?

— Да это еще что—цвѣточки... Ссора ли это?.. Кабы я старосту позвала—ссора значитъ, а развѣ она стоитъ того, чтобы бросить для нея свое дѣло и бѣжать къ старостѣ... Да я на нее и вниманья, что есть, не обращаю... Вотъ что!

— Она, кажется, твою овечку била?

— Ну, развѣ она не мерзавка послѣ этого? Развѣ это хорошо—при людяхъ пакости дѣлать своему человѣку? Да я если бы племянницу свою застала за такимъ дѣломъ, будь тутъ скотина самаго злющаго моего ворога, я бы и не знала, что бы съ дѣвчонкой сдѣлала... Потому коли это не пакость? Ты какъ хочешь ругайся—языкъ-то не на привязи, глотку-то не заткнешь, а скотина Христовая чѣмъ виновата?.. Да что и калякать объ этомъ! А ты вотъ что прими въ разсудокъ, потому ты приказей и эвти дѣла не хуже моего долженъ знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня никто этимъ дѣломъ не занимается. Ну, вотъ она и полѣзъ въ повитухи. Знаешь, пришло время ея сестрѣ рожать, вотъ она и сбей сестру: не надо, говоритъ, Опариху, я сама умѣю, видала... А надо спросить ее: гдѣ она видала-то? Развѣ я показываю кому? Развѣ я могу секретъ разсказать? Не могу, потому грѣхъ?

— Почему же грѣхъ?

— Почему? А вотъ почему я тѣ скажу. Теперь я повитуха и знаю, какъ и что, и съ кѣмъ дѣло дѣлать; опять кто какой комплектъ имѣетъ—это первое. А скажи я бабѣ: баба—дура и возьметъ себѣ, что и она тоже смыслитъ. Ну, и начнетъ, и повредитъ, что ни на есть... Кто въ отвѣтѣ, какъ не я, потому я допустила своей простотой до грѣха человѣка, потому можетъ али ребенокъ, али мать померетъ. Не такъ ли? Ну, вотъ она и уважила сестрицѣ: ребенка уморила, да и мать-то скорехонько умерла... Вотъ она что надѣлала.

— А доктора у васъ нѣтъ развѣ?

— Хватился! За дохтуромъ-то надо въ городъ ѣхать, да онъ еще и не поѣдетъ... Мужъ-то покойной и то ужъ жаловался становому, да тотъ его же обругалъ: зачѣмъ, говоритъ, казенную бабку не взялъ? Я, говоритъ становой, тебя же за это къ суду потяну... Такъ и не взялся за бабу. А это все отъ того произошло: становой-то на меня зубы точитъ отъ зависти. Приказывалъ сколько разъ не лѣчить никого. Изъ молодыхъ ишь ты, холостой; кабы свою жену имѣлъ, не то бы заговорилъ; кутила—страсть! А все же сила не въ немъ, а въ мужикахъ, потому, коли баба родить хочетъ, станового ли это дѣло?

— А казенной бабки развѣ у васъ нѣтъ?—Опариха засмѣялась и надменно проговорила:

— И къ чему эти модницы?.. Не понимаю. Вотъ ужъ именно, что казна соритъ по-пустому деньги; много у нея денегъ-то!

— Да вѣдь онѣ учатся; имъ эти мѣста дорого стоятъ. Вѣдь онѣ, тетушка, изъ бѣдныхъ, и имъ не легко было прожить то время, въ которое онѣ учились, да и мѣсто не скоро получишь.

— А ты на дѣлѣ узнай, да и толкуй. Я ужъ двадцатый годъ въ городъ-то ѣзжу и получше твоего знаю,—проговорила сердито Опариха и ушла въ избу.

Обѣдать Опариха меня не пригласила, вѣроятно, на томъ основаніи, что больному человѣку ѣсть вредно; я не напрашивался. Послѣ обѣда Опариха легла соснуть, проспала не болѣе получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была въ хорошемъ настроеніи, и даже хохотала, разговаривала со своей племянницей.

— Поди-ко, запряги бурка-то!—сказала Опариха дѣвочкѣ.

— Да я опять неладно...

— Ну-ну!.. надо же ко всему пріучаться. Слава Богу, съ невѣсту ростомъ... Пошла!

Дѣвочка пошла во дворъ и встрѣтила тамъ мальчика.

— Ты что тутъ ковыряешь стѣну-то, дуракъ?

— Сама дуя!

— Пошелъ, пошелъ!!

— Да ты не деись. Сказу мамкѣ-то... я...—мальчикъ заплакалъ.

Вышла Опариха на крыльцо, закричала на дѣтей.

— Я, тетуска... мамка послая... А она делется... я разѣ...

— Ну?!

— Мамка лодитъ... послая.

— Родитъ, говоришь?

— Къ тебѣ послая... Посколяе, баетъ, помнять тожно.

— А, чтобъ васъ!.. Только баловать... Пошелъ проворнѣй: приду!.. Черти!—И Опариха ушла со двора, дѣвочки тоже долго не было.

Опять скучно, какъ и вчера; дѣлать нечего. Изба и пріютъ Опарихи казались мнѣ противными, такъ и хотѣлось скорѣе удрать отсюда; но что-то удерживало.

Опариха воротилась часа черезъ три, запрягла лошадь въ долгушку, положила въ долгушку два лукошка съ чѣмъ-то, одинъ небольшой боченокъ и небольшую кадушку.

— Ну, оставайтесь, благословясь... Въ городъ поѣду,—сказала Опариха, совсѣмъ готовая къ отъѣзду.

— Возьми меня, я совсѣмъ здоровъ.

— Да тебѣ тамъ что за надобность приспѣла?

— Вѣдь ты не надолго, а я бы поглядѣлъ на городъ.

— Мѣста нѣту: самой кое-какъ и то присѣсть. Завтра или послѣзавтра безпремѣнно буду... А ты смотри, чтобъ все было въ порядкѣ, слышишь? Задеру, коли что...—говорила она племянницѣ.

— Сколько же тебѣ за житье-то, тетушка,—спросилъ я.

— А ты развѣ ѣхать хошь?

— Хочу.

— Такъ вотъ и пустили!—Она ушла во дворъ, а минутъ черезъ десять поѣхала, говоря племянницѣ наставленія.

Черезъ полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью и, какъ пришла, такъ и легла не раздѣваясь на скамью. Во все это время я былъ хозяиномъ въ домѣ: щеголялъ въ своемъ костюмѣ, сидѣлъ у раскрытаго окна съ трубкой, хлебалъ щи, которыя находились въ печкѣ, и даже читалъ Библію, которая лежала въ горенкѣ на небольшомъ столикѣ подъ иконами. Но особенно меня занимали небольшія тетрадки, найденныя мною въ томъ же угольномъ столикѣ комнаты. Первые и послѣдніе листы были оторваны, прочіе листы исписаны разными почерками, крупно, мелко, по печатному, косо и прямо. Тутъ означались имена и фамиліи, вещь и цѣна, напримѣръ: «Никифору Яковличу сѣна 1 р. 15 коп.»—и все въ родѣ этого. Немного страницъ было пустыхъ. Уплачены ли деньги—ничего этого не показано и не зачеркнуто. Въ иныхъ мѣстахъ было написано чернилами, двѣ, три страницы залиты чернилами, нѣсколько полулистовъ слиплись и пропитались саломъ, во многихъ мѣстахъ ничего нельзя было разобрать, потому что или карандашъ стерся, или писано сѣрыми чернилами и хотя крупно, но неразборчиво, въ родѣ такихъ словъ: «*аляси казу бракуй*» и т. п. Ни чиселъ, ни мѣсяцевъ, ни даже праздниковъ нигдѣ не обозначено. Кромѣ этого, я обратилъ еще вниманіе на стѣну противъ окна, у которой стояла кровать съ периной, вѣроятно, принадлежащая Опарихѣ. На этой стѣнѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ начерканы углемъ палочки, косыя и кривыя, и крестики. Нѣсколько палочекъ и крестиковъ были уже зачеркнуты. Я вывелъ то заключеніе, что Опариха грамотѣ не умѣетъ и здѣсь, вѣроятно, что-нибудь на память записываетъ.

Вечеромъ погода стояла хорошая, и я сидѣлъ большею частію у открытаго окна, такъ какъ солнце свѣтило на противоположные дома. Село было оживлено болѣе обыкновеннаго, такъ что на улицѣ играли ребята и сидѣло нѣсколько мужиковъ кучками въ разныхъ мѣстахъ; у своихъ или сосѣдскихъ домовъ сидѣли женщины съ рукодѣльемъ или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между собою о чемъ-то не очень весело. О чемъ они говорили—я этого не слышалъ. Но вотъ изъ калитки противоположнаго дома вышелъ старичекъ въ синей рубахѣ, опоясанный плетенымъ изъ красной шерсти поясомъ, въ такихъ же синихъ съ заплатами штанахъ и въ лаптяхъ на ногахъ. Лицо его было очень блѣдно, волосы и борода сѣдые; самъ онъ былъ сгорбленъ и его немножко трясло. Отойдя немного отъ калитки, онъ сѣлъ на скамеечку, перекрестился и подперъ голову руками.

— Дѣдушка Иванъ, подь въ компанство! Чего сидишь одинъ-то?—кричала какая-то женщина старику. Дѣдушка Иванъ посмотрѣлъ на кружокъ, заключавшій въ себѣ двухъ женщинъ и трехъ мужиковъ, но ничего не сказалъ.

Къ старику подошла молодая женщина, держа въ лѣвой рукѣ пряжу и, поглядѣвъ кругомъ, что-то шопотомъ спросила старика; тотъ только рукой махнулъ. Женщина подсѣла къ нему, и между старикомъ и женщиной начался разговоръ шопотомъ. Я нѣсколько разъ замѣчалъ, какъ женщина указывала рукой на домъ Опарихи, какъ разъ на то окно, у котораго сидѣлъ я, и старикъ только взглядывалъ по направленію руки, сжималъ ротъ и никакихъ при этомъ особенныхъ движеній не дѣлалъ.

— А ты слышалъ: прибыль Богъ послалъ Аннѣ-то Ѳедосѣевой,—проговорила вдругъ женщина громко.

— Ужли родила? Когда? — спросилъ старикъ, широко взглянувъ на женщину.

— Никакъ въ обѣдъ Богъ далъ—сынокъ... Опариха была.

— Да вѣдь уѣхала Опариха?

— Ужъ она свое дѣло справила. Была я сегодня у нея, у Ѳедосѣевой-то: хомякъ—мальченко-то!

— Ну, дай Богъ.

— Ты бы зашелъ бражки выпить! А? Заходи?

— Покорно спасибо.

Женщина отошла прочь, и что-то часто глядѣла на мою особу.

Хотѣлось мнѣ очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти—значило нарушить бесѣды крестьянъ: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для нихъ человѣкъ совсѣмъ посторонній. Кромѣ того, я еще не зналъ отношеній крестьянъ къ моей хозяйкѣ Опарихѣ. Такъ я и просидѣлъ до заката солнца, когда на улицѣ уже не было ни души.

Я уже хотѣлъ затворить окно, какъ услышалъ мужскую брань и визгъ женщины. Разобрать сначала не было возможности, потомъ я изъ криковъ

понялъ, въ чемъ было дѣло. Крестьянинъ, изрядно выпившій, тащилъ въ волость свою пьяную жену, которая украла у него послѣдніе два рубля, и онъ нашелъ ее въ кабакѣ. Что тамъ она дѣлала—я не понялъ, но надо полагать, что-то нехорошее. Мужъ тузилъ жену, жена ругалась и кричала: «зарѣжу! варнакъ, зарѣжу! ты меня въ гробъ вколотилъ, зарѣжу!». А такъ какъ въ окнахъ показывались мужскія и женскія головы, и оттуда слышались одобренія, относящіяся къ обиженному мужу, то обиженный останавливался и кричалъ:

— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики... Осподи!

— Хорошенько ее... Она сегодня какъ Опариху при всемъ мірѣ чествовала... Хорошенько!..

— Зарѣжу!! спалю село...—визжала отчаянно женщина.

— Веди ее... ничего!..

— Прислушайте ея рѣчи... Будьте свидѣтелями... благодѣтели!..

Противъ церкви несчастную женщину уже тащили двое мужиковъ; она рвалась, билась, голосила; мужъ билъ ее веревкой.

— Вотъ наказанье-то... Осподи!—говорили, качая головами, зрители и запирали окна...

Въ одномъ окнѣ, недалеко отъ церкви, показалась голова мужчины, съ волосами, заплетенными въ косу.

— Что жъ ты ее бьешь, мошенникъ,—крикнуло лицо.

— Отецъ Василь... право...

— Пошелъ спать, свинья... а не то самого въ волость запереть велю!

— Онъ меня погубилъ... истребилъ совсѣмъ... кровь!..—выла женщина.

Я закрылъ окно и хотѣлъ итти на улицу, чтобы защитить женщину, но мнѣ пришла въ голову мысль: могу ли я тутъ помочь ей чѣмъ-нибудь, когда и она пьяна, и мужъ ея пьянъ, и всѣ сосѣди вооружены противъ нея?.. Такъ я и оставилъ свое намѣреніе. Но эта сцена долго безпокоила меня. Хозяйка разсказала мнѣ, что эта женщина испорченная; теперь я увидалъ, что въ селѣ всѣ противъ нея, мужъ ведетъ ее въ волостное правленіе за кражу у него трудовыхъ денегъ, которыя, можетъ-быть, составляли весь его капиталъ, и за какое-то другое прегрѣшеніе... Вѣроятно, не она сама дошла до такого положенія, что всѣ противъ нея, и что заставляетъ ее быть такою, а довело же ее до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будетъ дальше съ этой женщиной? Во снѣ мнѣ мерещилась эта сцена, и казалось мнѣ, что эта женщина горько раскаивается передъ начальствомъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ, проситъ прощенія, и еще чего-то хотѣла бы она попросить, да не знаетъ чего бы такого...

Всталъ я при восходѣ солнца, разбудилъ дѣвочку, взялъ по ея указанію набируху и пошелъ за грибами. Но когда я вышелъ за ворота, то рѣшительно не зналъ, въ какую сторону итти. По счастью, изъ однихъ воротъ выѣхалъ въ телѣгѣ крестьянинъ. Я спросилъ его.

— По грибы-то, почтенный, не близко: верстъ пять будетъ, да и тутъ ходьба-то черезъ рѣчку Малиновку.

— Не пойдетъ ли кто изъ вашихъ?

— Изъ моихъ-то двое ушли. А вонъ къ Половникиновскому дому постучись, можетъ, старуха Маремьяна подетъ. Она поздно уходитъ.

Я поблагодарилъ крестьянина и подошелъ къ указанному дому.

Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибоисканія, сегодня итти не можетъ, къ великому ея сожалѣнію, такъ какъ у нея что-то очень неловко подъ сердцемъ, и она было посылала за попомъ, да попъ уѣхалъ ночью въ деревню Загибалиху. Молодуха сказала мнѣ, чтобы я попросилъ Степаниду Игнатьевну, что живетъ напротивъ, чтобы она отпустила со мною своихъ парней. Я такъ и сдѣлалъ. Оказалось, что парни сегодня поѣдутъ на покосъ, и что если мнѣ такъ желательно итти въ лѣсъ, то я одинъ могу итти, такъ какъ я не маленькій, или бы могъ взять съ собою племянницу Опарихи, у которой я живу. Все это говорилось коротко и какъ-то неохотно.

Дѣлать нечего, поплелся на-удалую. При выходѣ изъ села, я увидѣлъ впереди женщину съ лукошкомъ на спинѣ. Я ей крикнулъ разъ, крикнулъ два, пустился въ бѣгъ—кое-какъ женщина остановилась. Она была не молодая; лицо ея было изнурено, глаза заплаканы. Я не сталъ тревожить ее и, при входѣ въ лѣсъ, повернулъ отъ нея направо и ходилъ все больше по краю и рѣдко-рѣдко заходилъ вдаль, опасаясь потерять изъ виду пашни.

О своемъ похожденіи за грибами, о томъ, какъ пріятно быть въ лѣсу одному, говорить не стану: это предметъ извѣстный. Но вотъ я вышелъ изъ лѣсу и увидалъ, что у ржи сидѣла та же самая женщина. Ея плетеное лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, изъ которыхъ верхній былъ гораздо шире нижняго, потому что въ лукошко были воткнуты свѣжіе прутья рябины, а межъ нихъ переплетались такіе же прутья и служили продолженіемъ лукошка, такъ что будь у этой женщины желаніе сбирать грибы цѣлый день, то она, вѣроятно, увеличила бы лукошко аршина на два. Около нея, на травѣ, лежало десятка три красныхъ грибовъ, которые, по всей вѣроятности, не входили въ верхній этажъ лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ногъ была изранена во многихъ мѣстахъ, и она теперь вытаскивала изъ лѣвой ноги занозу... Я присѣлъ недалеко отъ нея и закурилъ трубку. На спросъ мой, какъ она можетъ ходить босикомъ въ лѣсу, гдѣ почти на каждомъ мѣстѣ лежатъ сухіе прутья, сосновыя иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не отвѣтила и на замѣчаніе, что сегодня день жаркій. Поэтому продолжать какіе-бы то ни было вопросы мнѣ было неловко, и я счелъ за лучшее итти домой.

День былъ дѣйствительно жаркій, тѣмъ болѣе было жарко мнѣ въ моемъ длинномъ пальто, похожемъ на халатъ; мнѣ хотѣлось пить, а воды не было. Но все-таки здѣсь дышалось лучше, чѣмъ

въ душномъ городѣ. Идя между пашнями, я вдругъ потерялъ изъ виду село. Оказалось, что мѣстность, по которой я шелъ, была низкая. Наконецъ, выбрался я на ровное мѣсто. Церковь наискось, лѣвѣе. Налѣво, почти въ ногу со мною, шла неразговорчивая баба; я видѣлъ только ея голову, повязанную платкомъ, и верхъ лукошка съ плотно укладенными въ немъ грибами. Вскорѣ я потерялъ ее изъ виду, но когда вышелъ на только-что унавоженную землю, увидалъ опять ту же женщину, сидящею у обожженнаго пня. Она упирала голову обѣими ладонями и горько плакала.

— Тетушка! о чемъ ты плачешь? Аль болитъ что?—спросилъ я, подойдя къ ней.

— Охъ!—простонала она и пуще прежняго заплакала.

Мнѣ хотѣлось узнать причину ея горя, но я не зналъ, что сказать ей. Вдругъ она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернулась, минутъ съ десять проглядѣла на одно мѣсто и вдругъ кинулась мнѣ въ ноги и проговорила:

— Не освободишь ли ты, кормилецъ, сестру-то мою, Дарью Егорову? Спаси, кормилецъ!.. по гробъ буду за тебя Царицѣ небесной молиться, матушкѣ-то нашей!

Большого усилія мнѣ стоило уговорить женщину сѣсть; я злился на то, что остался у Опарихи, пошелъ по грибы и теперь долженъ разыгрывать роль чиновника.

— Что, развѣ твоя сестра худое что сдѣлала?—спросилъ я ее.

— Ой, ни въ чемъ неповинна, какъ передъ Богомъ истиннымъ... Передъ небомъ, что передъ престоломъ, говорю... Все это отъ него, отъ мужа, варвара, да отъ злодѣйки Опарихи жизь такая... Все онъ... Освободи ты ее... Стегать ее хотятъ.

— Если что могу—сдѣлаю, только на меня ты не полагайся: потому я человѣкъ не служащій, я живу здѣсь потому, что захворалъ дорогой, а раньше этого и вовсе не имѣлъ никакого намѣренія даже и мимо вашего села проѣзжать.

Женщина смотрѣла на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла изъ моихъ словъ.

— Онъ, мужъ-то ея, да злодѣйка Опариха всѣ жилы, проклятые, вытянули изъ насъ.

Мы нѣсколько минутъ молчали. Я не зналъ, что говорить, о чемъ спросить ее, и вдругъ сказалъ:

— Чѣмъ же онъ и Опариха обидѣли васъ?

Женщина только охала. Съ большими усиліями разсказала она мнѣ цѣлую исторію, которая, какъ я понялъ, была такова:

Отецъ ихъ былъ волостнымъ старшиною въ то время, когда онѣ, сестры, были молоды. Братьевъ у трехъ сестеръ, жившихъ душа въ душу, не было. и мать въ то время, когда ихъ уже прочили въ невѣсты, т. е. на пятнадцатомъ году, была не родная, но мачеха, и, само собой разумѣется, не имѣла объ нихъ такого попеченія, не любила ихъ и не заботилась объ ихъ нравственности, какъ родная мать. Поэтому въ домѣ часто случались драмы такого рода: мачеха заставляетъ падчерицъ что-нибудь дѣлать—онѣ вонъ изъ избы къ подругамъ, откуда мачеха нерѣдко прогоняла ихъ съ крикомъ, бранью и побоями, чѣмъ попало,—что, разумѣется, не мало бѣсило дѣвушекъ, у которыхъ будто бы не было ни стыда, ни совѣсти. Но все это была чистѣйшая ложь, потому что дѣвушкамъ только и было радостей, что у подругъ, гдѣ онѣ, и то только на вечеркахъ, играли въ разныя игры съ парнями. Отецъ былъ пьяница; онъ вполнѣ вѣрилъ женѣ и даже боялся ее по одному обстоятельству, которое разсказчица не хотѣла выдать на свѣжую воду. До семнадцатилѣтняго возраста житье сестрамъ было каторжное. Не удалось имъ выйти замужъ по своему желанію. Мачеха сказала своему мужу, что надо напередъ столкать замужъ старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за ея хорошаго знакомаго десятскаго, у котораго въ селѣ въ то время былъ постоялый домъ и который, независимо отъ своихъ служебныхъ обязанностей, исполнялъ тогда даже почтовую гоньбу. Возраженія и слезы Дарьи противъ этого не были приняты во вниманіе, и Дарью обвѣнчали насильно, но въ первую же ночь молодой улизнулъ отъ жены, что весьма удивило поселянъ и разозлило старшину. Но каково было посрамленіе молодой! Надъ нею смѣялись всѣ дѣвушки, всѣ парни и въ особенности тотъ, кого она больше всѣхъ любила. Дарья, впрочемъ, долго не думала и сама стала пропадать изъ дому. Начались безобразныя ссоры, брань, побои. Между тѣмъ все произошло вотъ отчего: десятскій просилъ отъ старшины приданаго тысячу рублей, на которые хотѣлъ расширить отправленіе почтовой гоньбы и прикупить нѣсколько десятковъ десятинъ хорошей земли въ такомъ-то мѣстѣ. Старшина обѣщалъ выдать ему эту сумму тотчасъ послѣ вѣнчанья и, такъ какъ между ними не было заключено никакихъ письменныхъ обязательствъ, то старшина, по благословеніи молодыхъ иконами, наотрѣзъ отказался отъ слова, отчего за ужиномъ между тестемъ и зятемъ произошла драка, послѣ которой десятскій и удралъ изъ села въ городъ со вдовой Опарихой, а черезъ недѣлю прогналъ отъ себя жену и сталъ жить открыто съ Опарихой. Потомъ онъ поссорился съ Опарихой и взялъ къ себѣ Дарью, и, когда его сдѣлали старшиной, онъ сталъ обращаться съ ней ласково, говоря ей, что онъ доконалъ-таки ея родню тѣмъ, что отца за разные подлоги сослали въ Сибирь, а мачеху онъ прогналъ изъ дому, и она, неизвѣстно куда потомъ скрылась. Все-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама разсказчица замужъ не вышла, потому что ея жениха сдали въ солдаты, и онъ, неизвѣстно гдѣ, пропадалъ нѣсколько лѣтъ, и хотя потомъ и воротился на родину, но прежнія привязанности и отношенія называлъ глупостью и теперь на нее мало обращаетъ вниманія. Третья сестра тоже вышла замужъ и жила довольно сносно, но назадъ тому три года умерла отъ родовъ. Такъ и билась Дарья нѣсколько лѣтъ, дѣла мужа ея пошли все хуже и хуже; продалъ онъ всѣхъ лошадей, сталъ пьянствовать, бить жену, наконецъ, его смѣнили съ должности, описали за казенныя деньги все его имущество и посадили въ острогъ. Въ это время

Дарья и разсказчица жили, гдѣ Господь Богъ приведетъ и гдѣ добрые люди позволятъ. Изъ острога мужъ Дарьи выпущенъ недавно, нѣсколько мѣсяцевъ занимался конокрадствомъ и теперь кое-какъ занимается извозомъ. Въ селѣ у него нѣтъ ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живетъ онъ у своего дяди, женѣ ничего не даетъ, и потому она бѣдствуетъ ужасно, и кусокъ хлѣба достается ей горькими слезами.

— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля?—спросилъ я разсказчицу.

— Вретъ! вретъ онъ аспидъ, какія у него деньги?

— Да вѣдь ты говоришь, онъ извозомъ занимается, стало быть, у него деньги могутъ быть.

— Какія деньги, коли онъ пріѣзжаетъ пьянъ и побирается у дяди. А вчера пріѣхалъ тоже пьянъ, ну и пошли они съ дядей въ кабакъ... тотъ тоже не пролей капельку. Ну, оттуда приходятъ пьянѣе вина и давай искать Дарью, а Дарья только что въ кабакъ нанялась за два цѣлковыхъ, на своихъ харчахъ. Онъ ее и давай бить и потащилъ въ волость.—Заступись ты, родной!—прибавила въ заключеніе разсказчица.

Я не сталъ больше разспрашивать эту женщину и не зналъ, кому больше вѣрить: ей ли или тетушкѣ Опарихѣ. Мнѣ все-таки казался этотъ послѣдній разсказъ болѣе правдивымъ, и я рѣшилъ хлопотать за Дарью у Опарихи. Мы пошли молча домой.

Опариха была уже дома въ горенкѣ и перебирала вещи въ сундукѣ. Увидѣвъ меня и оставивъ незапертымъ сундукъ, она подошла ко мнѣ съ тетрадкой и, не обративъ никакого вниманія на грибы, сказала:

— Ну-ко, погляди, что тутъ наворакошено *)?

Я взялъ тетрадку; тетрадка немного засаленная; въ ней написано то же, что и въ тѣхъ тетрадкахъ, которыя я видѣлъ вчера.

— Огурцовъ кадка 57 коп.,—читалъ я.

— Ну, а сметаны?

Нашелъ сметану,—2 рубля.

— Какъ такъ?

— Такъ.

— Да вѣдь онъ писалъ: два двѣнадцать.

— Тутъ только два.

— Не врешь?

Я подтвердилъ. Она стала бранить того, кто записывалъ, выхватила книжку и ушла въ комнату. Немного погодя, мы опять стали свѣрять счеты,—оказалось вѣрно.

— Одинъ разъ отрѣжь, десять — примѣряй. Нельзя! —сказала хозяйка довольнымъ голосомъ и завернула тетрадку въ тряпку, которую завязала въ старенькій платокъ, какъ будто тутъ хранились деньги.

— Ты, тетушка, и торговлей занимаешься?

— Помаленьку... Богъ милуетъ.

— Я думаю, трудно одной-то за всѣмъ?

— Что дѣлать-то. Вотъ и здѣшнимъ-то нужно угодить, и въ городѣ присмотрѣть. Въ городѣ-то у меня сестра торгуетъ помалости, ну, а въ ярмонки и я на базарѣ торгую, чѣмъ случится.

— Выгодно?

— Мало... Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить значитъ. Одново разу съ меня много затребовали,—ничего не дала—прогнали... Я къ начальству: какое, говорю, право нашли твои подначальные деревенскихъ бабъ обижать? Я здѣсь не первый годъ, говорю, торговлей занимаюсь, всѣ мной были довольны. Я, говорю, молъ и до Царя дойду. Ладно, говоритъ начальникъ, подожди.—Проходитъ день, проходитъ два, начальство ни пьетъ, ни поретъ. Пошла опять; я, говоритъ, собираю, не знаю чего...

— Справки, вѣроятно.

— Ну, ну! Я, говоритъ, постараюсь... А ярмонка-то черезъ двое сутокъ кончается. На другой день я опять пошла къ нему,—дома, говорятъ, нѣтъ, уѣхалъ... Я черезъ день къ нему...—Что, говорю, ваше благородіе, правда-то гдѣ у те!..—Я, говоритъ, все сдѣлалъ, что жъ ты, говорятъ, поздно пришла?—Ну, значитъ, надо всегды давать.

Хозяйка стала хлопотать объ обѣдѣ, который состоялъ изъ грибницы и жарехи изъ грибовъ же, а я пошелъ въ тотъ кабакъ, гдѣ, по разсказу женщины, сидѣла въ послѣднее время Дарья.

Это была маленькая комнатка съ перегородкой и стойкой, имѣющая видъ лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стѣной въ углу стояла полу-бочка, съ воронкой во втулкѣ и съ мѣднымъ краномъ внизу бока. На полу стояло нѣсколько бутылей, два-три полуштофа и нѣсколько пустыхъ косушекъ. Больше ничего не было. При моемъ входѣ въ лавочкѣ не было никого, и я, простоявъ минуты двѣ, удивился простотѣ сельскихъ жителей. Сталъ я кашлять—никто нейдетъ; отворилъ два раза дверь и хлопнулъ ею—то же. Наконецъ, я крикнулъ довольно громко: хозяинъ!

Изъ-за перегородки показалась худощавая молодая женщина и позѣвывая—спросила: что тебѣ?

— Однако, какіе вы безбоязливые... Не боитесь, что у васъ всю водку утащатъ.

— Не утащатъ!

Я попросилъ стаканъ водки и заговорилъ насчетъ городской торговли виномъ. Женщина увѣряла, что у нихъ Богъ милуетъ; воровъ еще не бывало, а такъ какъ въ это время почти никто въ будни не приходитъ въ кабакъ, то она и дозволила себѣ немножко прикурнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придетъ въ кабакъ въ это время, то не безпокоитъ ее, а дожидается, и самъ пить не смѣетъ, потому что шила въ мѣшкѣ не утаишь. Только одинъ кумъ ея пользуется тѣмъ правомъ, что онъ, приходя въ кабакъ, начинаетъ бражничать; но онъ бражничаетъ подолгу и не одинъ.

— Это за что же, тетушка, вчера бабу въ волость увели?

— А Богъ ихъ знае. Напасть одна. Мужъ пьяница, драчунъ... ну и опять, ему больше вѣры...

— Она у васъ жила?

— Да гдѣ жъ ей и жить-то больше, какъ не

*) Написано.

у насъ, потому ужъ вся избитая... Все Опариха.

— Опариха, говоришь?

— Ты хошь и у нея живешь, а я все-таки ея не боюсь потому, какъ теперь я торгую водкой, такъ и она тоже торговка, и говорить я все могу. Что она прытка, это за ней пусть и будетъ, а что насчетъ ея лиходѣйства—шила въ мѣшкѣ не утаишь. Вотъ что... Всѣ знаютъ, что какъ муженекъ-то ея померъ, она и давай примазываться за мужемъ Дарьи-то, въ та поры, когда онъ еще холостой былъ... Какъ вѣдь не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домомъ и владѣла... Ну, да тотъ на деньги позарился, женился на Дарьѣ, да Опариха оплела его; такъ-таки и оплела. Чьи теперь у нея покосы-то да пашни?—Олексѣя. Чья лошадь у нея?—его же. Вотъ она какая! Ну, развѣ женѣ это не обида? Да она, я тѣ скажу—хоть ты передай, хоть нѣтъ—черезъ него и въ люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а какъ разорила, и знаться съ нимъ перестала.

— Какъ же это она сдѣлала?

— Какъ? Да такъ: какъ завидѣла она, что онъ на ней не женится, а на попятный дворъ отъ нея, она помалчиваетъ, а потомъ и говоритъ: что же, говоритъ, Олексѣй Митричъ, ты не зайдешь пивка попробовать? Тотъ зашелъ, сталъ плакаться на свое житье. Она его ласкаетъ... Ну, и пошло дѣло.—Денегъ ли надо, она дастъ, да не зря, а записку возьметъ и срокъ въ запискѣ покажетъ. Вотъ она какова!.. Тотъ все бралъ, бралъ, да какъ попалъ въ бѣду, то она ему и дай еще денегъ подъ лошадь да подъ корову, а потомъ и предъяви записки, куды слѣдуетъ. Ну, знамо, безъ денегъ не обошлося.

— Она значитъ капиталъ имѣла?

— Знамо, воровски жила... У насъ-то украсть нечего, такъ въ городѣ воровала, а въ городѣ-то у нея сестра родная за солдатомъ замужемъ; ну, и хоронили концы, тѣмъ и торговлю завели. Вотъ такимъ-то манеромъ она и завладѣла покосами да пашнями. А ужъ насчетъ этого... куды какъ рѣчиста,—заговоритъ. Вотъ Олексѣй-то Митревъ и пришелъ къ ней послѣ острогу и давай корить ее; а она на одну рѣчь ему сто рѣчей, ну, тотъ и присмирѣлъ; у нея же и занялъ опять подъ росписку... Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту онъ сбылъ, другую завелъ, значитъ потерялъ—ищи! Знать не знаю, говоритъ: у меня такая лошадь, а въ твоей запискѣ другая... Ну, значитъ, маху дала.. Такъ она, значитъ, и разорила его. А ужъ про Дарью и говорить нечего, такъ-то ли она на нее зловредна—бѣда!

— А давно лошадь-то потерялась?—Женщина посмотрѣла на меня подозрительно и спросила:

— А тебѣ на что?

— Нѣтъ, я такъ. Вѣдь мое дѣло стороннее.

— Да съ мѣсяцъ будетъ... Ты видѣлъ у нея лошадь-ту?

— Плохо.

— А лошадь отличная: рублей пятьдесятъ, надо быть, стоитъ; а она на ярманкѣ купила, говорятъ, за пятнадцать.

— Ямщики говорятъ, Опариха здѣсь въ почетѣ.

— Да мало ли дуръ-то да простофиль... Оно конечно, свое добро даромъ отдавать не приходится, только ужъ она плутовата больно. Вотъ хоша бы къ примѣру: Кузьма Залыжныхъ взялъ у нея пять мѣръ овса...

— Своего-то не было?

— То-то, что сбился деньгами и закабалилъ овесъ-то ей же прямо съ пашни. Ну, она записку съ него: заплатитъ молъ къ Пасхѣ. Пасха пришла, а у того денегъ нѣтъ... Пиши, говоритъ, новую... Тотъ съ дуру-то и напиши... Ну, значитъ, и вышло двѣ записки... Вотъ какова Опариха-то!.. И ей все сходитъ, чтобъ ее язвило!..

На этомъ мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мнѣ хотѣлось разспросить ее о ея жизни, и я сталъ выжидать удобнаго къ этому случая; только случая этого не представлялось, а разспрашивать ее прямо ни съ того, ни съ сего—неловко.

По окончаніи обѣда, когда Опариха наказывала племянницѣ, какъ какому-то крестьянину отмѣрять овса, такъ чтобы ей было не въ убытокъ или, проще сказать,—обмѣрять, я вдругъ спросилъ ее:

— У васъ, тетушка, на какомъ основаніи наказываютъ розгами женщинъ?

— На томъ, что обучать уму-разуму слѣдуетъ всякаго!

— Ну, а если бы къ примѣру тетушку Опариху!

— Этого не будетъ: я законы знаю. Знаю, что нонѣ это отмѣнено.

— Значитъ, коли отмѣнено, наказывать противозаконно, а кто не исполняетъ законъ, тотъ не долженъ ли отвѣчать?

— Да ты къ чему эту исторію подвелъ?

— Слыхала ты: хотятъ стегать Дарью Яковлеву?

Лицо Опарихи немного передернулось, глаза сверкнули.

— Откуда это ты слышалъ?

— Всѣ говорятъ,—сказала племянница, перемывая чашки и ложки.

— Не тебя спрашиваютъ!—крикнула хозяйка.

Я разсказалъ вчерашнюю сцену.

— Ну, этому не бывать!.. Вотъ еще новость!!. Какое они такое право взяли бабъ стегать?

— Да тебѣ-то тутъ что?

— Развѣ мнѣ не обида? Разѣ это не обида всѣмъ бабамъ, коли надъ ними мужики будутъ командовать такъ и издѣваться?

— Да вѣдь ты на нее сердита?

— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я безъ чувствія?

Хозяйка торопливо одѣлась и скоро вышла; она скрылась за церковью.

Вечеромъ на полянѣ, передъ домомъ Опарихи сидѣло нѣсколько женщинъ; сидѣли онѣ въ различныхъ позахъ полукругомъ съ работами, а у завалинки дома Опарихи сидѣли дѣвочки съ груд-

ными ребятами, замѣняя своими особами нянекъ, около нихъ же терлось штукъ шесть дѣтей-малолѣтокъ. Молодое поколѣніе говорило не громко, потому что занято было играми въ клѣтки, потчеваніемъ другъ друга глиняными лепешками и т. п. Налѣво отъ молодого поколѣнія лежали на полянѣ холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумѣли по обыкновенію, а вели себя чинно, вѣроятно потому, что тутъ ораторствовала Опариха. Она увѣряла, что гораздо лучше утыкать домà куделей, чѣмъ мохомъ, потому что отъ этого въ избахъ теплѣе дѣлается; смѣялась надъ одной сосѣдкой, что она, не имѣя хорошаго разсудка, вздумала положить паклю на каменку. Все это она разъясняла въ теченіе получаса, останавливаясь только тогда, когда ее перебивали, и хотя въ ея словахъ ничего не было новаго и интереснаго, но женщины слушали ее, какъ я замѣтилъ, съ удовольствіемъ, часто отрывая глаза отъ работы; и когда она кончила, онѣ не нашлись сдѣлать какое-нибудь возраженіе Опарихѣ.

— Бабы, не найдется ли у васъ излишку пакли?— спросила вдругъ Опариха.

— Тебѣ на что?

— Надо. Въ городъ; одинъ купецъ просилъ пуда съ два. Такъ... на пробу.

Разговоръ перешелъ къ паклѣ. Оказалось, что теперь пакли едва ли у кого можно найти. Одна женщина сказала, что у нея хотя и есть немного этого товара, но она дешево не отдастъ, тѣмъ болѣе потому, что у нея нѣтъ льну, а ленъ сѣять они будутъ года черезъ два, когда справятся. Отъ пакли перешли къ тому, что нынче торговля чѣмъ бы то ни было стала не въ примѣръ хуже прошлыхъ годовъ, народъ сталъ собака, полиція придирчивѣе, такъ что хоть и не ѣзди въ городъ. Только вотъ еще ярмонкой и можно кое-какъ биться, да и тутъ поганые татаришки стараются завладѣть первыми мѣстами, отбить ихъ, бѣдныхъ женщинъ, на задній планъ, и продаютъ гнилой товаръ, перекупаютъ лучшее, и ихъ же, опытныхъ торговокъ, ловко нагрѣваютъ. Противъ этого Опариха смѣло возражала, что если кто не умѣетъ взяться за какое-нибудь дѣло, тотъ не долженъ и браться за него, потому что онъ смѣшитъ народъ и дѣлаетъ убытокъ своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примѣрами, но примѣры разбивались Опарихою различными доказательствами изъ своей практики; тогда женщины стали корить ее разными плутнями, и дѣло чуть не кончилось небольшой ссорой, но Опариха незамѣтно перешла къ Дарьѣ Яковлевой, показывая на нее, какъ на женщину, не умѣющую ни за что взяться, отчего изъ нея впослѣдствіи нельзя ожидать ничего хорошаго.

— Да виновата ли она-то?—возразила вдругъ одна женщина.

— Самъ плохъ, такъ не подастъ Богъ. Разѣ я не такъ же бѣдна была въ молодицахъ-то? Разѣ вы тоже изъ богатыхъ семей-то? Вспомните ка прошлое время!

Нѣсколько женщинъ вздохнули и вполнѣ согласились съ Опарихой въ томъ, что дѣйствительно Яковлева отчасти сама виновата; что она еще въ дѣвчонкахъ избаловалась. Женщины три, неизвѣстно почему, стали гнать по домамъ своихъ дѣтей. Затѣмъ Опариха что-то шопотомъ сообщила своимъ подругамъ, отчего однѣ изъ нихъ вытянули лица и покачали головами, другія ударили по колѣнямъ. Замѣтно было, что сообщенное Опарихой извѣстіе женщинамъ пришлось не по-сердцу. Вдругъ онѣ заголосили всѣ, но я не могъ понять смысла этого митинга, только слышалъ: «врутъ они все! этому не должно и быть! на то разѣ мы дались имъ?».

По всей вѣроятности сужденіе происходило насчетъ Дарьи Яковлевой.

За ужиномъ, состоявшимъ, какъ и обѣдъ, изъ грибницы и жарехи, я разспрашивалъ хозяйку о жизни крестьянъ и о томъ, какую выгоду приноситъ имъ земля. По ея взгляду жить въ селѣ очень можно: земля хорошая, а главное нужно не лѣниться. Положимъ, оброки и разныя повинности нынѣ большіе, но она о нынѣшнемъ времени умолчала, а говорила, что при прежнихъ порядкахъ нѣкоторые крестьяне сколачивали-таки капиталецъ и даже уходили въ города, и какъ на фактъ указывала на одного купца, ушедшаго изъ села въ лаптяхъ и теперь ворочающаго большими капиталами. «На все это, говорила она, нужны смѣтливость, терпѣніе и ловкость; нужно испытать всякія лишенія и непріятности и, когда дѣла будутъ итти въ гору, не нужно зазваться или выходить изъ себя». Но при этомъ о самой себѣ она ничего не сказала, даже не указала на себя примѣромъ. Потомъ она круто повернула къ тому, что ихъ село, находящееся отъ города К. въ двадцати верстахъ, можетъ имѣть выгодную торговлю съ городомъ, если бы за торговлю принялись женщины. По ея понятію, мужчины должны работать въ селѣ, напр. ухаживать за пашнями, прихватывать работниковъ изъ разныхъ праздношатающихся людей, которые цѣлыми десятками шляются по міру, могутъ пріучать дѣтей къ работѣ, а женщины должны торговать въ городѣ, тѣмъ болѣе потому, что земля даетъ съ избыткомъ то, что̀ посѣешь, только пользоваться этимъ, по мнѣнію Опарихи, мужики не умѣютъ, потому что многіе изъ нихъ или находятся въ кабалѣ у кулаковъ, или лѣнятся и пропиваютъ излишнія деньги въ кабакахъ.

— Вотъ, напримѣръ, я, про меня всѣ чешутъ языки и всѣ меня не любятъ отъ зависти. Особливо ни одна баба не скажетъ про меня постороннему человѣку хорошаго и приплететъ непремѣнно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вонъ и такія, которыя даже Яковлевской Дашкой попрекаютъ, будто она черезъ меня такая сдѣлалась... Иной разъ, такъ до того разозлятъ въ глаза, что даже заплачешь отъ такой напасти... Ну, значитъ, крѣплюсь. А не крѣпись я, да думай, что онѣ меня спалятъ или что худое надъ моимъ хозяйствомъ сдѣлаютъ, — все вверхъ дномъ пойдетъ. Ей-Богу! А я на все плюю и имъ же добро сдѣлаю, потому какъ бы худъ ни былъ человѣкъ, а все-же послѣ пригодится и благодарность къ тебѣ будетъ имѣть.

Ничего нѣтъ хуже въ жизни, сударь ты мой, какъ эта болѣзнь. Шесть разъ я послѣ мужа въ лихоманкѣ была, шесть разъ соборовалась, а не померла... Видно, Господь Богъ терпитъ моимъ грѣхамъ и для какой-нибудь пользы длитъ мою грѣшную жизь. А онѣ что?.. хоть бы одна пришла провѣдать... Вотъ только племянница и служитъ мнѣ, да и ту сбиваютъ: иди, говорятъ, къ матери; Опариха тебя изурочитъ... А разѣ я ей добра не желаю? Что она въ городѣ-то выживетъ? чему научится? Еще пожалуй пельменницей али калашницей сдѣлается... Да и какіе нонѣ нравы въ городѣ! (Опариха перекрестилась, потомъ обратилась къ дѣвочкѣ, которая вязала варежку).

— Поѣдешь въ городъ-то, какъ бабы говорятъ?

Щеки дѣвушки покрылись румянцемъ, она робко сказала,—нѣтъ...

— Да ты у меня не смотри такъ-ту! Знаю я по себѣ: безъ меня на головѣ ходишь, а при мнѣ въ уголъ. Поди-ко, принеси пивка, да не копайся въ погребѣ-то. Слава Богу, наѣлась поди.

Дѣвушка вышла.

— А хитрая дѣвчонка, нужды нѣтъ, что мала! Нужды нѣтъ, что я ее взяла полтора года—всѣ порядки переняла, все по-моему дѣлаетъ. Не безпокойся, лишняго не передастъ!.. Ну, въ городъ-то я ея не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной разъ мужики заѣзжаютъ за овсомъ. Ну, и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей — спрячетъ, такъ что я ужъ ей сундучекъ купила... А тоже вѣдь и любитъ меня она, нужды нѣтъ, что иной разъ губы надуетъ.

— Вы, тетушка, иногда ужъ очень сердиты бываете,—замѣтилъ я.

— А ты думаешь, такъ имъ и дай волю! ты говоришь: принеси чашку, а она сидитъ. Ну, разѣ такъ науку нужно производить? Какая она послѣ этого мать будетъ?

— Лаской надо.

Опариха захохотала и сказала:—откуда ты это ласки-то найдешь? Разѣ меня лаской вспоили, вскормили? разѣ меня теперь ласкаютъ, коль не огорчаютъ тебя на каждомъ шагу? Ласка что значитъ?—поблажка... А какъ сдѣлалъ поблажку разъ, другой, да какъ будетъ дитятко чужихъ совѣтовъ слушаться, тогда придется самой все дѣлать. А я не такъ богата, чтобы дармоѣдовъ держать; это, можетъ, у богатыхъ господъ такъ принято... но какъ разсерчаешь, тожно и не удержишься—и поколотишь, а потомъ и приласкаешь. Вотъ они и боятся и слушаются. Къ примѣру, меня-то какъ пріучили. Не забыть мнѣ...

Въ это время дѣвочка принесла жбанъ пива. Хозяйка налила мнѣ полную глиняную кружку, выпила и сама залпомъ кружку пива. Дѣвочка сѣла недалеко отъ тетки. Ей тоже, какъ видно, хотѣлось или пива выпить, или послушать, что будетъ разсказывать тетка. Становилось уже темно. На улицѣ никого не было видно; въ домахъ огней тоже не видать.

— Ты что же сидишь, полунощница! Когда такъ и за дѣломъ спишь,—проговорила обыкновеннымъ голосомъ хозяйка дѣвочкѣ.

— Я... такъ... не хотца спать-ту,—проговорила дѣвочка, закрывая рукою ротъ, который при послѣднемъ словѣ широко раскрылся.

— Пошелъ, дрыхни!—сказала строго хозяйка.

Пока дѣвочка стлала себѣ постель въ горенкѣ, хозяйка и я молчали.

Хозяйка еще выпила пива и мнѣ налила кружку.

— Что-то мнѣ спать неохота! Оказія!

— Ты даве начала было о своемъ житьѣ говорить,—сказалъ я съ сочувствіемъ.

— Это насчетъ воспитанія? Истинно воспитывать нельзя, какъ строгостью: за всѣмъ надо самой присмотрѣть, потому кто припасаетъ-то? Я припасай, а другой мытарь?—дудки! Вотъ къ примѣру мое дѣло. У родителевъ-то у моихъ семья была большая, а, кажись, окромя меня никому не была столько чижало. Вотъ передъ истиннымъ Богомъ! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голосъ ея дрожалъ, какъ будто ей было обидно). День и ночь... куды!! Никогда не знала спокою съ малолѣтства. Перво на перво ребята. Кого качай, съ тѣмъ водись; то прибери, другое; то сдѣлай, пято-десято. А жили некорыстно, дай имъ Богъ царство небесное, хоша и считались за зажиточныхъ, потому отецъ-то, не тѣмъ будь помянутъ, хоть и испивалъ малу-толику, но все-жъ гоношилъ *) по хозяйству. Свои пашни имѣли и ладненько продавали въ городѣ: бывало въ зиму-то мѣшковъ десятокъ продастъ и зашибетъ рублевъ тридцать, потому пшеничная-то мука въ та поры была три съ половиной али четыре за мѣшокъ въ пять пудовъ, а теперь вонъ она по пяти и по шести скачетъ. А мать-то моя продавала тоже въ городѣ яйца, масло и капусту, только не умѣла беречь деньгу: какъ выручитъ рубля три, четыре и давай покупать ситцу али пряниковъ... И колачивалъ же ее за это отецъ, крѣпко колачивалъ, хоть бы и не слѣдовало, потому огородъ или скотинка и птица завсегды должны принадлежать хозяйкѣ; опять надо и то въ расчетъ взять: самъ-то онъ испивалъ же отъ своихъ трудовъ праведныхъ! Ну, а все-же она тратилась не въ мѣру и мы, по милости ея, никогда, что есть, яицъ не ѣли. Впрочемъ, что объ этомъ и говорить? Бывало поѣшь, чего Богъ дастъ, а я такъ до семнадцати лѣтъ и терпѣть, что есть, не могла яицъ. Нутро не принимало. Сперва я все съ ребятишками нянчилась да дома управлялась, потому, когда мать въ городъ уѣдетъ, все хозяйство на мнѣ лежало. Мать говорила, что я къ хозяйству больше таровата, а вотъ сестра Катерина-то къ торговлѣ. Только я замѣчала, что сестра Катерина ни къ торговлѣ, ни къ хозяйству не смышлена; а мнѣ больно хотѣлось торговать, только мать не хотѣла. Ну, я и начала производить торговлю въ селѣ. Ужъ больно мнѣ смѣшно, какъ вспомню, какъ я глупа была въ та поры. Мать уѣдетъ, я отдѣлаюсь дома и бѣгу къ подругѣ или подруга

*) Старался.

ко мнѣ прибѣжитъ, и говорю: давай мѣняться! Та тоже: ну, давай. А мѣнять-то было что? бусы, суперикъ *), платокъ... да мало ли что?.. Ну, потомъ и говорю: сколь придачи? Такъ и мѣнялись!.. А все эти придачи и другія слова я отъ матери переняла. Али пойдемъ въ огородъ, давай рвать морковь и давай мѣняться. Видишь ли, я ужъ очень рѣпу любила, а подруга морковь... Потомъ мать начала меня брать въ городъ, ну, тамъ я и узнала, въ чемъ суть. И толковать объ этомъ нечего. А тутъ вышла я замужъ, сударь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу порядки тамъ не тѣ. Родня большая, каждый въ свою сторону да въ свой карманъ тянетъ, а толку мало, бѣдность обуяла всѣхъ... Ну, дѣло молодое, хочется повеселиться, анъ нѣтъ,—дѣлай. Хочется самой быть полной хозяйкой,—нѣтъ, тутъ всѣ хозяйки. Обида просто беретъ, а мужъ смирный, олухъ; только когда пьянъ, тогда и боекъ, тогда и драться лѣзетъ... Такъ я и промаялась восемь годочковъ, и эти года я была совсѣмъ пустяшный человѣкъ, потому ровно ничего для себя не сдѣлала; даже торговлей заняться не могла—нечѣмъ было торговать-то. А сестра въ то время вышла замужъ за вахтера. Ну, а какъ померъ мужъ-то, я словно воскресла. Перво на перво же—своей коровенки нѣтъ. А отъ мужа мнѣ досталось десять рублевъ: въ шапкѣ нашла,—зашиты были; ну, я и не знаю, куды мнѣ дѣть деньги, что съ ними дѣлать. На ту пору и подвернись Олексѣй Яковлевъ. Онъ раньше на мнѣ жениться собирался, да потомъ надулъ. Пришелъ онъ ко мнѣ, братецъ ты мой, въ домъ. А я жила тогда въ своемъ домѣ, самъ мужъ строилъ, только тогда одна изба была, а ужъ это я все послѣ состроила сама. Ну, я его пивкомъ, онъ такъ и такъ, говоритъ, лебезитъ... Ну, дѣло молодое... Прошло... На духу все прощено... Вотъ я ему и дай подъ росписку денегъ, никакъ шесть рублевъ. А тутъ дѣло подошло къ лѣту, поспѣли огурцы, я въ Т. да одна на яковлевской лошади... Ужъ и наималась же страстей!.. Воры напали, да видятъ огурцы, хотѣли лошадь взять, да ужъ только Никола святитель спасъ... Двои сутки прожила въ Т., кое-какъ продала; только три цѣлковыхъ и выручила. Ну, все-жъ хоть и немного, а я была больно рада и стала потомъ ѣздить въ городъ: почти все, что было въ огородѣ, перевезла въ городъ и деньги копила; только вотъ Яковлевъ и высасывалъ ихъ. Такъ я и сдѣлалась торговкой, и это нашимъ-то не больно сперва нравилось, а потомъ и бабы стали поручать мнѣ продавать яйца, масло, капусту. Такъ что иной разъ я съ тремя возами катила въ городъ съ одними мальчишками. Купила я корову, овечекъ, курицъ, свиней; ну, тогда дѣло пошло еще лучше, только случалось воровали скотину. И все же, гляжу, возни много, одной такъ трудно, что не приведи Богъ, а прибыли мало, потому не я одна торгую, да и крупнаго товару у меня нѣтъ. Стала я подумывать, какъ бы мнѣ постоянно торговать въ городѣ. Ну, и нельзя: въ селѣ у меня все хозяйство, а въ городѣ надо начинать сызнова. Такъ ничего и не выдумала и маялась много лѣтъ. Наши-то бабы много мнѣ довѣряли, и я безъ обмана исполняла порученья,—а это много значитъ; и онѣ еще больше стали располагать мной да на меня надѣяться: нѣтъ у кого муки, ко мнѣ бѣгутъ, потому отчего не дать своему человѣку—не обманетъ, отдастъ; а если и муку не возворотитъ, я сѣномъ возьму, али овсомъ, али чѣмъ инымъ. Тоже, напримѣръ, мужику нуженъ хомутъ, а денегъ нѣтъ. Ну, и плачется. Я говорю: ничего, подожди, на ярмонкѣ дешевле купимъ, а ты мнѣ только росписку пиши, послѣ сквитаемся. Ну, а какъ не заплатитъ, и другимъ возьмемъ. Да, сударь ты мой, много возни нужно съ нашими мужиками. Когда нужда, онъ и божится, и плачетъ, что вотъ, какъ только поправится, со сторицею возвратитъ. А когда станешь просить свое, онъ же и обиждается. Ну, подумала, подумала я: что, если я все такимъ манеромъ буду упускать свои выгоды, не получать долговъ, эдакъ сама обѣднѣю. Положимъ, нуждающемуся дать нужно, только онъ-то зачѣмъ обманываетъ да кривитъ душой? Ну, думаю, не буду я вамъ больше въ зубы смотрѣть. Нашла я черезъ сестру въ городѣ человѣка: судейскій столоначальникъ. Вотъ коли кто мнѣ не платитъ денегъ, я росписку столоначальнику, мужика и потянутъ.—Ну, тотъ и пишетъ условіе: поквитаться на овсѣ или ржи. Оно хотя и убыточно это для меня, потому я не могу опредѣлить, сколько измелется ржи, всежъ-таки что-нибудь да стоитъ, и мужикъ ужъ зимой меня не проведетъ: покою не дамъ, какъ начнутъ молоть. А тутъ я и пашни и покосы пріобрѣла себѣ, и слава тѣ Господи прибыль есть.

— Какъ же ты одна-то управляешься?—спросилъ я.

— Какъ? Вѣдь развѣ ты не знаешь,—мы наши работы справляемъ помочами; ну, а мнѣ многіе должны, многіе и не откажутся, потому грѣхъ, вотъ я и приглашаю: кои должны, долги зачитаютъ работой, а кои не должны, тѣхъ удовлетворяю деньгами, поденно. Да деньги что! Помочи нужно только справить хорошенько: угощеніе надо сдѣлать. Ради одного угощенія пойдутъ. У меня, что есть, и сѣютъ, и пашутъ даромъ. Вотъ что! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лѣкарскимъ искусствомъ занималась; а мнѣ этого искусства не передавала, а я все-таки знала названье травъ и знала, какую она траву откуда беретъ. Знала, что лѣчить не трудно, а тоже за лѣченье ей платятъ. Ну, какъ померла она, я и принялась за лѣченье скоро. Захворала баба, по всему селу стало извѣстно, а мнѣ особливо; свекровь ея приходитъ и спрашиваетъ: нѣтъ ли, говоритъ, у тебя, Опариха, травки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слыхала изъ разговоровъ отъ матери, какая трава отъ какой болѣсти пользительна. Выздоровѣла баба. Ну, съ тѣхъ поръ

*) Перстень.

и стали меня звать во всѣ дома, и стала я для всѣхъ нужна. А тутъ вскорѣ и повитухой я сдѣлалась. Тоже трудности нѣтъ большой; ничего худого не случалось, миловалъ Богъ. Вотъ онѣ всѣ и знаютъ чувствіе, видятъ, что у меня мужа-то нѣтъ, и пристаютъ къ мужьямъ: надо, говорятъ, помочь Опарихѣ-то. Да и мужья знаютъ это, потому всѣ мною отъ лихихъ болѣстей облегченіе имѣютъ. Ну, и вспашутъ, и посѣютъ.

— Своимъ посѣютъ?

— Дожидай! Нѣтъ, мужикъ тоже плутъ: мы, говоритъ, вспахать—вспашемъ, не большой разсчетъ, а засѣять не можно, свое сѣмя подай. Ну, да это такъ и слѣдуетъ.

— Ну, а какъ же ты кровь-то пускаешь? Вѣдь это вредно.

— И!.. кровь съ жиру али съ застою. Отъ чего болѣсть?—Съ крови.—Выцѣдилъ ее, и легче. Да мнѣ, сударь ты мой, сто разъ выпускали кровь-ту!!

— То-то ты и худая.

— А разѣ... А тучный человѣкъ какъ помираетъ?.. Нѣтъ, самое главное—это кровь... Опять же, у мужа Катерины фельшаръ есть—другъ-пріятель—такъ онъ мнѣ лѣкарствія даетъ. У меня, кажись, пузырьковъ тридцать есть .. Я вѣдь тоже и лошадей пользую.

— Много же у тебя дѣла-то,—сказалъ я послѣ минутнаго молчанія.

— Бѣда! И не повѣришь, за всѣ мои хлопоты и старанія они мнѣ всѣ зломъ платятъ. Иной разъ пьяный мужикъ такъ и грохочетъ на все село: піявка Опариха... А бабы всѣ только до случая, чего-чего не говорятъ!.. А какъ кто захвораетъ, или горе какое, идутъ, просятъ піявку-Опариху. Вотъ какой крестьянскій-то народъ!—заключила Опариха и громко зѣвнула.

— Экъ я, какъ разсидѣлась-то! Темень-то!—сказала она и встала.

Было дѣйствительно темно.

Опариха зажгла сальную свѣчку и стала дѣлать себѣ постель на полу избы.

— Ну, лѣтомъ ты торгуешь овощами, а зимой чѣмъ?—спросилъ я Опариху.

— Зимой-то? А зимой я продаю муку, ленъ, масло, яйцы,—да мало ли что?.. Продаю и сита. Только этимъ больше занимается сестра. У нея въ лавкѣ все есть—только одной живой воды нѣтъ.

— И сѣно есть?

— Пошто сѣно? Сѣно ближніе крестьяне продаютъ; и я сѣномъ не занимаюсь.

— Ну, а на ярмаркѣ что продаешь?

— На ярмонкѣ? Продаю орѣхи и пряники: потому деревенскіе гораздно падки до этого товара. Да и ярмонка-то что? Только быками да лошадьми и торгуютъ, да вотъ развѣ еще поганые татаришки старый да гнилой ситецъ продаютъ...—А ты иди—спи! Не цѣльную ночь сидѣть для тебя,—прибавила она сердито.

На другой день утромъ мы пили чай, я за столомъ противъ хозяйки, племянница ея—поодаль на лавкѣ. На замѣчаніе мое: зачѣмъ ея племянница не сидитъ за столомъ, она сказала, что дѣвчонка еще мала и должна сидѣть только тогда, когда будетъ совершенною невѣстою.

— Но вѣдь ты говоришь: безъ мужа жить лучше.

— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому, самъ ты разсуди, какое житье дѣвкѣ? Хоть гдѣ ни живи дѣвка, а вѣры ей той нѣтъ, какъ бабѣ. И хорошаго будь поведенія, и тутъ насчетъ поведенія сумлѣваться будутъ, и надзору за ней больше. Да и какое житье дѣвкѣ одной? Съ кѣмъ она посовѣтуется? И опять: развѣ возможно устоять дѣвкѣ отъ соблазновъ? А баба не то: куды ни приди, вездѣ всѣмъ равна; никто тебя пальцемъ не ткнетъ, и вѣры тебѣ больше. Тоже и вдова... и вдова тоже баба, потому замужемъ была...

Опариха силилась объяснить положеніе вдовы, но у нея ничего не выходило, кромѣ того, что вдова была замужемъ, и потому ей болѣе должно быть довѣрія.

Шелъ дождь. По улицѣ шелъ полупьяный десятскій и, остановившись передъ домомъ Опарихи, сказалъ что-то негромко. Опариха отперла окно и крикнула:

— Куда ты?

— Скликать! Дашку стягать хочутъ.

Опариха съ негодованіемъ хлопнула окномъ и стала скоро убирать со стола чашки.

Я спросилъ у нея, гдѣ волость, и пошелъ туда.

За церковью стояло еще нѣсколько домовъ, и изъ нихъ особенно выдавались два дома: одинъ, пятиоконный, стоялъ на площадкѣ противъ церкви. Домъ былъ построенъ недавно и по новому фасону. У оконъ были росписныя ставни, двѣ трубы обѣлены. Наискось этого дома, черезъ дорогу или улицу, былъ домъ стариннаго фасона, старый, черный, съ провалившейся до половины крышей. Надъ окнами, съ разбитыми стеклами, болталась обѣленная доска, державшаяся на одномъ гвоздѣ, съ надписью—*волостное правленіе*. Въ домѣ былъ гамъ и крикъ. Ворота были растворены, да они, какъ надо полагать, съ давняго времени и не запираются, потому что половинки ихъ держатся только на верхнихъ болтахъ и подперты. Во дворѣ амбаръ съ двумя дверями. Въ этомъ амбарѣ, какъ я узналъ послѣ, содержатся виноватые—въ одной половинѣ мужчины, въ другой—женщины. Оконъ ни въ томъ, ни въ другомъ отдѣленіи нѣтъ. Во дворѣ грязно, воздухъ тяжелый, гнилой... Вошелъ я по небольшой лѣсенкѣ на крыльцо, потомъ вошелъ въ темныя сѣни, изъ которыхъ ведутъ двери во внутрь справа и слѣва. Направо двери отворены. Тамъ, въ небольшой комнаткѣ; съ однимъ окномъ и съ облупившеюся и заплѣсневѣвшею во многихъ мѣстахъ штукатуренною стѣною, стоялъ небольшой столъ простой работы; на столѣ и на окнѣ сидѣли въ рубахахъ крестьяне; двое изъ нихъ курили махорку. Я поклонился имъ, спросилъ—здѣсь волостное правленіе? и получилъ утвердительный отвѣтъ. Никакихъ украшеній въ этой комнатѣ не было, кромѣ одной рамки между печью и дверью, которою я вошелъ въ комнатку, рамки съ разби-

тымъ стекломъ. Въ рамкѣ ничего не было, и я не могъ понять, для какой именно цѣли повѣшена она; да надо полагать, и крестьяне объ этомъ не знали.

Другая комната, въ три окна, довольно просторная, но узкая, съ такими же ощипанными и заплѣсневѣвшими стѣнами и потолкомъ, съ чернымъ отъ грязи поломъ, только и отличалась отъ первой что просторомъ да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столовъ. За однимъ столомъ сидѣло два человѣка въ сюртукахъ съ длинными волосами и съ плутовскими физіономіями, за другимъ—сидѣлъ солдатъ и писалъ грамотку двумъ крестьянамъ. Этотъ солдатъ, какъ я узналъ тутъ же, принадлежалъ къ составу канцеляріи волостного правленія. А узналъ я это изъ того, что вышедшій изъ угловой комнаты писарь, молодой, бойкій господинъ, въ легкомъ лѣтнемъ пальто и скрипящихъ сапогахъ, приказалъ ему переписать какую-то бумагу. Въ этой комнатѣ было человѣкъ до тридцати крестьянъ, большею частію въ рубахахъ и шапкахъ. Половина изъ нихъ сидѣли на полу у стѣнъ, половина, собравшись въ небольшія кучки, о чемъ-то горячо разговаривали. Нѣкоторые курили табакъ. Здѣсь происходилъ такой говоръ, что разобрать рѣшительно ничего невозможно; никто не стѣснялся ни крупными выраженіями, ни языкомъ, ни руками, все равно какъ на улицѣ; всякъ какъ будто бы чувствовалъ себя въ своемъ домѣ; только изъ того, что при появленіи волостного писаря изъ этой комнаты или при проходѣ его въ первую комнату народъ немножко утихалъ, а нѣкоторые даже вставали съ полу, можно было заключить, что они у начальства.

Третья комната отличалась отъ первыхъ двухъ тѣмъ, что, кромѣ табачнаго дыму, въ ней пахло еще и водкой. Дѣйствительно я увидѣлъ на окнѣ полуштофъ съ жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и рѣдьку. Въ этой комнатѣ стояло два шкафа, окрашенные на скорую руку красною краскою, и посерединѣ — большой столъ. За столомъ у стѣны стояло три стула, изъ коихъ одинъ, крайній къ окну, имѣлъ подушку, обшитую кожей. На столѣ были разбросаны бумаги, паспорты, двѣ какія-то книги; писарь сидѣлъ на краю противоположномъ той стѣнѣ, у которой стояли шкафы, и что-то писалъ; передъ нимъ стояли трое крестьянъ.

Простоялъ я съ четверть часа, а начальство не являлось. У меня отъ дыму начала болѣть голова. Крестьяне на меня не обращали вниманія, только писарь, проходившій мимо меня, косился.

Наконецъ, явился старшина — низенькій человѣкъ, лѣтъ сорока, съ лысой головой и большой черной бородой. Онъ былъ не толстъ и не тонокъ, и не щеголялъ костюмомъ: на немъ былъ надѣтъ черный зипунъ, опоясанный краснымъ кушакомъ. Физіономія его выражала тупость и дикость. При входѣ онъ крякнулъ, вытащилъ изъ-за пазухи ситцевый грязный платокъ, отеръ имъ лицо и, протолкавшись въ толпу, пробасилъ:

— Васька падле-ецъ!—Затѣмъ онъ началъ тузить одного крестьянина, стоящаго ближе всѣхъ къ выходу.

Народъ захохоталъ.

— Илья Петровичъ...—произнесъ получившій ударъ.

— Зашибу! Зашибу!!

— Гляди, Кузьму за Ваську принялъ!—сказалъ смѣясь молодой крестьянинъ.

Народъ опять вразъ захохоталъ.

— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ахъ ты, ѣшь те лѣшій... Кузьма?.. Ну, просимъ прощенія,—говорилъ старшина и при послѣднемъ словѣ низко поклонился Кузьмѣ.

— Ничего; зачти за недоимку.

— Цѣлуй! Другъ!—говорилъ старшина и сталъ цѣловать Кузьму.

— Съ похмѣлья аль пьянъ?—спросилъ старшину народъ.

— Видно грѣхъ попуталъ—пьянъ никакъ... Смотри, не грохнись,—острилъ молодой крестьянинъ.

Народъ захохоталъ.

Старшина мотнулъ головой и пошелъ въ третью комнату.

— А, Василь Васильчъ!.. Сто лѣтъ здравствовать, три пьянствовать... Водка-то есть ли?—и старшина ткнулся животомъ въ столъ, причемъ произнесъ:—Василь?.. Какъ бы таво сяво?

— Есть мнѣ когда съ тобой раздобаривать! Садись на свое мѣсто да пей водку, вонъ!—проговорилъ писарь, указывая рукой на окно.

— О-о! Ахъ ты, сорока бѣлобока... Та-та-та! та-а-та!—Старшина, схвативъ полуштофъ, сѣлъ на стулъ съ кожаной подушкой.

— Якимъ! подай-кось лахань-ту?—сказалъ старшина мужику, стоявшему у двери.

— Раненько бы... того...—началъ было Якимъ и почесалъ себѣ затылокъ.

— Ну, не тебя—себя угощаю.

Мужичекъ подалъ старшинѣ чайную чашку, рѣдьку и солонку.

— Вотъ!.. и потолкуемъ тожно... Важно!—произнесъ старшина, выпивъ чашку водки.

Старшина сталъ закусывать рѣдькой и началъ разговоръ съ мужичкомъ насчетъ лѣсу.

— А что жъ, старшина, Яковлеву-то?—спросилъ писарь.

— Ведн!.. Эй, Гаврило! веди Яковлеву! живо веди, чортъ те дери!—кричалъ старшина.

Немного погодя, въ большую комнату была введена женщина лѣтъ 35. Это была измученная женщина съ посинѣлымъ лицомъ, подбитыми бровями, въ изорванномъ сарафанишкѣ. Всякій поглядѣлъ на нее и съ состраданіемъ, и съ отвращеніемъ.

— Что?!. опять ты меня въ правленье!—кричалъ ея мужъ, подошедшій къ ней съ кулаками.

— Не трожь!.. Разберемъ коли, тогда и бей,—унимали мужа крестьяне.

Тотъ отошелъ и началъ ругать свою жену. Его кое-какъ уняли.

Вышедши изъ присутствія, т. е. третьей угловой комнаты, старшина сѣлъ на стулъ у одного стола, крестьяне стали во всю длину стѣны, жен-

щина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоялъ за крестьянами.

Старшина всталъ со стула, подошелъ къ крестьянамъ и сталъ осматривать ихъ: онъ то поднимался на цыпочки, то заглядывалъ съ боку; при чемъ голова его съ половиною туловища описывала полукругъ, что смѣшило крестьянъ, которые хихикали.

— Аль Прокопья нѣтъ!? Какъ же это, ребята? —проговорилъ вдругъ старшина.

— Хотѣлъ быть, да видно ногу сломалъ.

— Ишь ты... А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Ей, ей... въ некруты сдамъ, — проговорилъ старшина, обращаясь къ молодому крестьянину.

— А ты, Илья Петровичъ, не раздобаривай, пущай коли домой,—произнесъ кто-то недовольно.

— Пущу, пущу!.. А вѣдь надо бы того, четвертуху?.. А?.. робя!..

— Съ Яковлева бери.

— Васюха? Васька? Ва-сю-ха!!! — прокричалъ старшина, обратясь къ третьей комнаткѣ; послѣднее слово онъ произнесъ по-кошачьи. Народъ заговорилъ. Всѣ роптали на старшину.

— Счастливо оставаться!—сказалъ вдругъ одинъ крестьянинъ и сталъ надѣвать шапку.

— Стой?!. Кто выдетъ—гривна серебра штрафу...—сказалъ строго старшина.

— Это-то небось помнитъ, на это трезвъ...— роптали крестьяне.

— Сичасъ, робята... Никифоръ, тащи-ка писаря-то за волосы!—сказалъ старшина и мигнулъ одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился самъ съ перомъ во рту и съ какой-то бумагой въ рукахъ.

— Подписывай!

— Поди ты отъ меня! Плевать?!

— Такъ я печать твою приложу.

— А вотъ!—и старшина показалъ писарю здоровый кулакъ.

Писарь было пошелъ, но старшина крѣпко ухватилъ его за фалду сюртука.

— Постой-кась... Не уй-де-шь!! Я... я тебя не пу-щу-у!! Олексѣйко, говори!

Изъ толпы выдвинулся мужъ Дарьи и почесываясь началъ разсказывать о поведеніи своей жены.

— Врешь! врешь!—озлобленно говорила Дарья.

— А ты говори дѣло. Воровала она у тебя?— спросилъ писарь.

— Передъ истиннымъ Богомъ говорю, — воровала: около трехъ цѣлковыхъ унесла... Заставь Богу молить...

Женщина поклонилась въ ноги старшинѣ и стала выть.

— Ну!.. что кричишь-то!.. А ты, парень, нонѣ разбогатѣлъ тожно. А что-жъ подать-ту! — спросилъ старшина Алексѣя Яковлева.

— Батюшка, Илья Петровичъ... сколатырилъ было три цѣлковыхъ, Ну, думаю, слава Богу, завтра представлю въ волостное правленье... Хвать, она и вытащила... И хоть бы грошъ!

— Что-о-ты?—сказалъ старшина, растягивая.

— Провалиться, не вру!

— Вася? вретъ Олексѣйко, али нѣтъ? по-твоему какъ?

— Конечно, украла.

— А вы, робята?—обратился старшина къ народу.

— Извѣстно... намъ что...

— Ну, значитъ, крала,—и конецъ дѣлу...

— Ну-ко, Дарюха? что ты скажешь, матка-свѣтъ?—обратился къ обвиняемой старшина.

Обвиненная вдругъ начала браниться и, неизвѣстно почему, назвала и старшину подлецомъ.

— Постой, постой, сорока! Ты скажи, зачѣмъ деньги украла?.. А за ругань я еще взыщу... говори!—крикнулъ вдругъ старшина такъ громко, что многіе вздрогнули.

Дарья ничего не отвѣчала.

— Писарь!—старшина держалъ все-еще писаря за одну только фалду сюртука;—какъ твои законы?

— Стегать!—одно.

— Робята, какъ?—спросилъ старшина крестьянъ.

— Мы ничто... Намъ что, — проговорили тупо крестьяне.

— Степанко! а Степанко!

Изъ первой комнаты вышелъ тотъ солдатъ, который раньше здѣсь занимался.

— Кашка-то у те есть ли?—спросилъ его старшина, ухмыляясь.

Оказалось, что всю кашку увезъ съ собой становой на слѣдствіе по какому-то дѣлу, а что вѣники есть.

— А, впрочемъ,—добавилъ усердный солдатъ,— можно вицъ нарѣзать у Хмѣльниковскаго дома.

Старшина согласился и послалъ Степанка за вицами. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будетъ наказаніе бабѣ— тяжкое или легкое. Старшина потребовалъ водки, принесли четверть; нѣсколько крестьянъ выпили по чайной чашкѣ, только закусить было нечѣмъ. Говоръ усилился. Кажется, всѣ позабыли о происходившей недавно сценѣ, да и о предстоящей никто не говорилъ ни слова, только хвалили старшину, вѣроятно, вслѣдствіе угощенія, что хотя онъ и пьянъ, да два угодья въ немъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Опариха.

Всѣ крестьяне разомъ смолкли и удивленно смотрѣли на нее.

— Гдѣ старшина?

Внезапно ли наставшая тишина или громкій голосъ Опарихи заставили старшину выйти въ эту комнату.

— Вонъ! глядите! Опариха!!—кричалъ старшина, кусая рѣдьку;

— Я давно Опариха... Охъ ты, пьяница ты горькая! и какой дуракъ тебя старшиной-ту дѣлалъ?—кричала Опариха и при послѣднемъ словѣ чувствительно дернула старшину за бороду.

— Нѣтъ... ты... па-стой, — размахивая рукой, говорилъ пьяный старшина.

— Моли Бога, что ты пьянъ, а то я бы тебѣ глаза выковырила.

— Ой ли? выковырила бы?

— Ну-ко скажи, какой твой судъ насчетъ Дарьи?

— Стегать...

— Вотъ тебя бы постегать-то!

Народъ захохоталъ.

— А вы-то что, олухи царя небеснаго!.. Вы-то что стоите, точно подохлые?.. Для того что ли васъ позвали сюда, чтобы табачище проклятый курить да хохотать!.. Ахъ! глядите, они водку лопаютъ! Ну, и судъ!..

— Да мы ничто... Наше дѣло что? коли бы...— загорланили крестьяне.

— Вы-то что! Вы и слова сказать хорошенько не умѣете!—Потомъ, обратясь къ ошеломленному старшинѣ, который тупо глядѣлъ то на народъ, то на нее и почесывалъ спину, Опариха крикнула:

— Подавай писаря!

Писарь вышелъ самъ.

— Ты что кричишь-то, калашница? Не твое дѣло—пошла вонъ!

— Какъ? меня вонъ?! Да я у самого губернатора была, лично съ нимъ разговаривала, да онъ и тутъ не гналъ меня. А ты что за фря такая?

— Говорю тебѣ, пошла вонъ!—закричалъ писарь.

— Анъ впрямь здѣсь кабакъ, только одного и не достаетъ — бочки нѣтъ. Поглядите-ка, православные, старшина съ писаремъ лыка не вяжутъ.

— Ребята, гоните ее!— крикнулъ разозлившійся писарь дикимъ голосомъ. Но никто не трогался съ мѣста, всѣ переглядывались другъ съ другомъ, улыбались и шептали: «накось! эво какъ!». Человѣка три, впрочемъ, дѣлали эти восклицанія вслухъ.

— А на столѣ-то не кабакъ? Ну-ко, старшина, скажи мнѣ, каковъ твой судъ?

Старшина и писарь не хотѣли отвѣчать.

— А вотъ подожди, увидишь.

— За вицами Степанко ушелъ, — проговорили негромко въ толпѣ.

— И впрямь стегать!?

— И тебя выстегаю!—сказалъ важно старшина.

— Руки коротки! Дуракъ ты, дуракъ! Вотъ и видно, что своего ума-разума нѣту... Ты спросилъ ли муженька-то ея, за что онъ ее искалѣчилъ? Глядѣлъ ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у нея все искалѣчено?

При послѣднихъ словахъ Опариха подвела къ старшинѣ обвиненную и сказала!

— Видишь?

— Такъ и надо!—проговорилъ старшина.

— Не твое дѣло!—сказалъ писарь.

— Ахъ ты, чуча ты эдакая! не по моей ли милости женушка-то твоя вылѣчилась?—сказала писарю Опариха.

— Ну, такъ что?

— Дуракъ, сидѣлъ бы ужъ, лопалъ водку-то! А вотъ, поди-ко, пиши паспортъ Дарюхѣ.

— Э-э! сорока-то что! А?.. вицъ несите-ко, робята!—крикнулъ старшина.

— Это не меня ли ужъ, ваша милость?—передразнила старшину Опариха.

— Извѣстно.

— Покорно бла-го-дарю! — Опариха низко поклонилась старшинѣ, потомъ обратилась къ писарю:

— Ну-ко, скажи, умница: приказано бабъ стегать?

— Приказано.

— Кажи законъ?

— Съ дурой и говорить нечего.

— А вотъ я хоть дура, а доподлинно знаю, что бабы получили отъ самого Царя избавленье отъ вицъ, и ты это долженъ знать.

Народъ громко захохоталъ разомъ.

— А вотъ попробуемъ, какъ не велѣно,—сказалъ смѣясь писарь.

— Нака-сь читай, да вслухъ!—крикнула Опариха писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь началъ было прятать записку въ карманъ пальто, но народъ загалдѣлъ:

— Читай, читай! Нече прятать-то... Воръ!

— Отъ отца Василья записка-то,—сказала Опариха.

— Читай!!—зарѣвелъ народъ и окружилъ писаря, старшину, обвиненную и Опариху.

«Илья Петровичъ! — началъ писарь чтеніе и, пробѣжавъ письмо про себя, остановился.

— Читай!!

— Да ничего нѣтъ: отецъ Василій проситъ выпустить Яковлеву.

— Читай!!!—заревелъ народъ пуще прежняго.

Писарь, видя, что ему отвертѣться отъ чтенія нѣтъ возможности, и, не находя словъ сочинить что-нибудь сію минуту, началъ продолжать письмо:

«Всѣмъ уже давно опубликованъ Царскій указъ объ избавленіи женщинъ отъ тѣлеснаго наказанія, и потому, сожалѣя о тебѣ, прошу помнить это на всякомъ мѣстѣ, потому что за нарушеніе этого закона, который долженъ быть извѣстенъ писарю...».

— Забылъ... кажется, нѣтъ...—соврал писарь.

— Читай! читай! нечего...

— «...ты будешь тяжело наказанъ. Священникъ Василій Феофилатовъ».

— Эвона штука-то! Бабъ не велѣно стегать! А мы-то-что?.. Чудно!—галдѣли крестьяне, расходясь по комнатѣ. Всѣ заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не могъ понять. Писарь толкнулъ его въ бокъ.

— Спишь ты?

— Какъ же... А? Указъ! А мы того!..

Писарь увелъ старшину въ третью комнату и сталъ что-то шептать ему, но старшина вдругъ разразился ругательствами на писаря. Опариха, разговаривавшая съ Яковлевымъ и ругавшая его, на чемъ свѣтъ стоитъ, за кражу лошади, вдругъ вошла въ присутствіе, т. е. въ третью комнату.

— Ну, что жъ вы народъ-то маите? Отпускайте бабу-то.

— Да мы ужо... Гдѣ же этотъ законъ-отъ?— ворчалъ старшина.

— Да что съ вами толковать! На вотъ трехрублевую, пиши пачпортъ: Яковлеву на годъ во всѣ города,—проговорила Опариха писарю.

Писарь призадумался.

— Три мало, пятитку—и пиши, Василь,—проговорилъ старшина.

— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевойту деньги взялись? Будетъ съ васъ и этихъ—пропьете,—сказала Опариха.

Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писаремъ и удивленные извѣстіемъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія женщинамъ. Скоро комнаты опустѣли, только писарь писалъ паспортъ крестьянской женѣ Яковлевой, а старшина, сидя рядомъ съ Опарихой, разговаривалъ съ ней о поповскомъ жеребцѣ, подаренномъ недавно старостою священнику. Теперь между старшиной и Опарихой не было несогласія. Я стоялъ около Опарихи, потому что она рекомендовала меня старшинѣ и писарю за своего хорошаго знакомаго, пріѣхавшаго къ ней изъ города лѣчиться. Старшина сдѣлался такъ любезенъ, что неотступно просилъ меня выпить водки и прійти къ нему запросто откушать, чего Богъ послалъ. Писарь подалъ старшинѣ паспортъ для подписанія; старшина кое-какъ подписалъ.

— И изъ-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопочешь-то? Вѣдь она не исправится,—сказалъ писарь.

— А постегать надо бы! жалость!.. — проговорилъ со вздохомъ старшина.

— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мнѣ отъ нея житья нѣтъ, то-и-дѣло ругается да бабъ нашихъ мутитъ. По ея милости мало ли что говорятъ про меня?.. Ну, а какъ въ городъ-то свезу и лучше.

— Это истинно! — заключили старшина и писарь.

Опариха и я распрощались съ начальствомъ и вышли. Яковлева сидѣла на крылечкѣ и, какъ только увидала Опариху, бросилась ей въ ноги.

— Прости ты меня, тетушка Онисимовна... прости-и!—причитала Яковлева.

— Ну, полно, дура. Говорила я тебѣ: не плюй въ колодецъ, пригодится... Ставай, пойдемъ ко мнѣ.

Яковлева не знала, что сказать, однако, пошла за Опарихой.

Дорогой я спросилъ Опариху: неужели у нихъ всегда такой судъ? Она сказала, что въ волостномъ правленіи еще и не то дѣлается: старшина и писарь, что захотятъ, то и дѣлаютъ.

— Ну да, — прибавила она,—и старшинѣ достается. Это въ волости-то ничего, терпятъ, а попадется пьяный на улицѣ старшина али писарь, такъ отдубасятъ!.. Поубавятъ-таки вѣку — и по дѣломъ! Одново раза даже писаря выстегали и жаловаться не посмѣлъ.

Назначила Опариха отправиться въ Т. въ субботу утромъ. Я тоже налаживался съ ней, а Яковлеву Опариха отпустила къ сестрѣ до субботы. Послѣ обѣда къ Опарихѣ приходила женщина съ просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что послѣзавтра отецъ младенца, кумъ и кума уѣдутъ на покосъ.

— Я, — говорила женщина, — ходила къ нему, да онъ обѣщался въ воскресенье; да и намъ безъ тебя, тетушка Опариха, нельзя крестить, потому ты принимала.

Вечеромъ Опариха сходила къ священнику и получила отъ него разрѣшеніе принести младенца завтра утромъ въ церковь.

Я удивился тому, какъ Опариха вездѣ успѣваетъ, и всѣ ея просьбы исполняются.

— Нечего и удивляться тутъ. Всякій можетъ успѣть, коли дѣло правое и разсудокъ имѣетъ, — отвѣчала она мнѣ и разсказала, какъ она разъ одного крестьянина отъ рекрутчины избавила. Дѣло состояло въ томъ, что у одного старика былъ сынъ двадцати двухъ лѣтъ. Были дѣти у старика и кромѣ этого сына, но всѣ померли. Сына поставили въ очередь, о чемъ онъ даже и не зналъ. Объявили наборъ и потребовали сына въ рекруты. Надо замѣтить, что старикъ былъ слѣпой, а жена его постоянно хворала, такъ что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вотъ Опариха и подала просьбу губернатору, началось дѣло, освидѣтельствовали отца и освободили сына отъ рекрутства, а писаря и старшину предали суду.

Въ субботу мы, т. е. тетушка Опариха, Яковлева и я тронулись въ путь, но намъ пришлось итти, а не ѣхать, потому что Опариха нагрузила телѣгу капустой. Но итти все-таки было весело, потому что Опариха занимала насъ смѣшными анекдотами изъ деревенской жизни, въ родѣ того, какъ она вылѣчила одну бабу отъ глухоты тѣмъ, что поставила бабу подъ колоколъ и что при этомъ у церкви стояли почти всѣ жители села и т. п. Вечеромъ мы пришли въ Т. и остановились у ея сестры Катерины.

Эта женщина была вполнѣ торговка; всѣ ея манеры и слова изобличали въ ней женщину, толкущуюся постоянно въ публикѣ и старающуюся различными способами пріобрѣсти себѣ хоть копейку барыша. У нея была лавочка на рынкѣ, и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дегтемъ, орѣхами, ягодами, пряниками, табакомъ и т. п. вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имѣла видъ городской, сама она и мужъ ея, открывшій недавно заведеніе «распивочно и на выносъ», приняли насъ любезно. Яковлеву мужъ Катерины обѣщалъ посадить въ питейное заведеніе.

Въ воскресенье Опариха стояла со своимъ возомъ на рынкѣ. Нельзя сказать, чтобы капуста ея была самая лучшая, но покупатели были, и она не зазывала ихъ къ себѣ крикомъ, не говорила, что ея капуста лучшаго сорта, а только заламывала большую цѣну: за сотню вилковъ полтора цѣлковыхъ; ей давали восемь гривенъ, и она потомъ отдавала за рубль.

Въ полдень я навѣстилъ ее на рынкѣ и отдалъ ей три рубля денегъ.

— И что ты, сударь ты мой! За что это? Будетъ и рубь.

Я настаивалъ, чтобы она взяла всѣ деньги, но она дала мнѣ сдачи два рубля и сказала:

— Если считать по-Божески, такъ дешевле рубля выйдетъ. Потому двои сутки нужно вычесть:

разъ ты хворалъ и не ѣлъ; другой, — мы твои грибы ѣли. А что до другого, такъ я тѣ скажу: моя сестра нахлѣбника держитъ за пять рублей въ мѣсяцъ.

Я не сталъ возражать и простился съ ней...

Повѣсть объ отставномъ коллежскомъ асессорѣ Зуботычинѣ.

Почти каждое утро живущимъ въ верхнихъ этажахъ домовъ, находящихся на Кронверкскомъ проспектѣ, который окружаетъ какъ зоологическій садъ, такъ и паркъ, назадъ тому недѣлю, можно было увидать старичка, идущаго по одной изъ тропинокъ парка отъ Сытнаго рынка. Этотъ старичекъ во всякую погоду весны, лѣта и осени ходилъ въ ветхой сѣраго сукна шинелишкѣ, лѣвая пола которой, несмотря на слякоть, на цѣлую четверть волочилась по землѣ, оставляя за собою небольшой слѣдъ и зацѣпляя на себя порядочное количество грязи, которою такъ богата вообще вся Петербургская сторона. Эта пола потому болталась по землѣ, что субъектъ, вѣроятно, отъ долголѣтняго писанья съ налеганіемъ какъ головы, такъ плеча и руки на лѣвую сторону, сдѣлался кособокимъ, такъ что и голова его наклонилась значительно на лѣвое плечо, до того, что лѣвое ухо совсѣмъ бы касалось плеча, если бы плечо не опустилось ниже, вслѣдствіе того, что правое поднялось почти къ самому правому уху. На головѣ у него старомодная фуражка съ протертою кокардою, въ рукѣ крючковатая трость, изъ-за шинели выглядываютъ: сюртукъ съ мѣдными, но очень тусклыми пуговицами, манишка, галстухъ и затѣмъ старыя суконныя брюки, заткнутыя въ сапоги, но забрызганныя грязью, на вершокъ выше колѣнъ, на сапогахъ глубокія калоши. Затѣмъ больше съ нимъ не было ничего; около него тоже никого не было. Въ пять часовъ тою же тропинкою, ближнею къ рѣшеткѣ, онъ возвращался назадъ. Такъ какъ по парку вообще ходитъ много людей, потому что почти половина чиновнаго люда петербургской стороны сообщаются съ Петербургомъ или черезъ перевозы, идущіе отъ Спасителя и изъ крѣпости, или черезъ Троицкій мостъ, то я на этого скрюченнаго старика, ходящаго по парку въ опредѣленное время, и не обращалъ особеннаго вниманія и мало имъ интересовался. Но разъ я, сидя у окна въ шестомъ часу вечера, увидалъ его противъ нашихъ оконъ, уже не одного. Онъ шелъ съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, одѣтымъ франтовски, и, какъ замѣтно было издали, не то спорилъ, не то горячился, потому что размахивалъ руками и плевался. Въ этотъ разъ онъ курилъ изъ короткаго чубука табакъ. Но и этому я не придалъ никакого значенія, потому что Петербургская сторона, чѣмъ дальше отъ своихъ трехъ великолѣпныхъ проспектовъ—Каменноостровскаго, Большого и Кронверкскаго, изъ которыхъ на послѣднемъ въ одномъ мѣстѣ мостовая до того прелестная, что какихъ-нибудь тридцать сажень нужно ѣхать на извозчикѣ по крайней мѣрѣ пять минутъ, чтобы не сломать голову, вылетѣвши изъ душегубки, такъ что еслибы самому оберъ-полицеймейстеру пришлось ѣхать туда на тройкѣ во время пожара, то едва ли бы онъ проскакалъ благополучно, не испортивъ своего экипажа,—и такъ, говорю, Петербургская сторона отличается отъ Петербурга очень многимъ: въ особенности простотою жителей, доходящей до того, что торговцы Сытнаго рынка играютъ на площади въ бабки, чиновники влюбляются въ дѣвицъ или дѣвицы въ чиновниковъ посредствомъ карточной игры въ носки, отъ чего какъ у кавалеровъ, такъ и у дамъ носы порядочно распухаютъ; что же касается до того, что чиновники запросто ходятъ въ питейныя заведенія, по примѣру Сумарокова, въ халатахъ, въ калошахъ и въ фуражкахъ съ кокардами, играютъ на гитарахъ, то объ этомъ и распространяться нечего, это всѣмъ извѣстно, какъ извѣстно и то, что въ дождь здѣсь вездѣ страшная грязь, каменные тротуары существуютъ только на проспектахъ и большихъ улицахъ, деревянные тротуары до того ветхи, что и днемъ по нимъ опасно ходить, газъ здѣсь не проведенъ, и фонари горятъ только сами для себя, такъ какъ около нихъ не только не увидишь на часахъ стрѣлки, но очень легко наткнуться на человѣка и стукнуться лбами; дома построены чрезвычайно тѣсно. Съ десяти часовъ ночи здѣсь существуетъ на мелкихъ улицахъ и особенно переулкахъ тишина, дворники служатъ за 6 рублей въ мѣсяцъ и жильцамъ и хозяевамъ, которымъ они служатъ и кучерами, и которые исправно получаютъ съ жильцовъ по два рубля въ мѣсяцъ, хотя бы нумерныхъ жильцовъ было и пятнадцать человѣкъ. Однимъ словомъ, Петербургская сторона мало отличается отъ губернскихъ городовъ какъ наружнымъ видомъ, такъ и внутреннею жизнію, совсѣмъ отличною отъ петербургской: здѣсь и квартиры дешевле, только очень легко можно сгорѣть и быть раздавленнымъ пожарною командою, какъ недавно здѣсь раздавили одного состоятельнаго купца за любопытство посмотрѣть на пожаръ, и народъ проще, и собакъ здѣсь много, и воровъ меньше, и народъ религіознѣе, зато городовыхъ мало.—На другой день въ пять часовъ вечера я опять увидалъ этого старика съ тѣмъ же молодымъ человѣкомъ и съ такимъ же чубукомъ. Меня начало разбирать любопытство. Я одѣлся и пошелъ шататься по парку. Черезъ полчаса я наткнулся на бесѣдку, еще не покрытую зеленью, и сквозь рѣшотки увидалъ старика и молодого человѣка. Молодой человѣкъ отдавалъ старику кредитныя бумажки, старикъ ихъ считалъ и пересчитывалъ. Я вошелъ въ бесѣдку и сѣлъ напротивъ нихъ, по другую сторону бесѣдки и сталъ наблюдать за старикомъ.

Волосы на головѣ его были сѣрые, остриженные подъ гребенку, лицо круглое, желтое, глаза сѣрые, отцвѣтшіе, но смотрѣвшіе съ какимъ-то злорадствомъ. Небольшія его губы часто передер-

гивались, глаза моргали, когда онъ смотрѣлъ на двадцатипятирублевую бумажку съ портретомъ на оборотѣ. Молодой человѣкъ былъ чернoволосый, съ черными усами; лицо его выражало нетерпѣніе, точно ему хотѣлось скорѣе удрать отъ старика. Онъ смотрѣлъ на бумажки, находившіяся въ рукахъ его сосѣда. Вдругъ старикъ поднялъ одну бумажку, направилъ ее къ солнцу и сталъ смотрѣть.

— Это фальшивая!—сказалъ онъ, но не отдалъ молодому человѣку.

— Не можетъ быть: я получилъ изъ банкирской конторы.

— Могутъ и ошибиться.

— Какъ хотите, я, пожалуй, возьму.

— Вы бы лучше достали мнѣ прежнихъ ассигнацій, а въ новыхъ я сомнѣваюсь, хотя онѣ и съ портретами.

— Но я вамъ говорю, что я получилъ ихъ изъ банкирской конторы.

— Я сомнѣваюсь, потому-что нынче много развелось фальшивыхъ бумажекъ съ портретами.

— Какъ хотите!

— Ну я тогда буду требовать судомъ, потому что вы поступили безчестно.

— Какъ угодно. Пожалуйте деньги!

— Нѣтъ ужъ... Ужъ вы и обидѣлись... Только... милостивый государь,—обратился старикъ ко мнѣ:— что вамъ угодно?

— Ничего не угодно, я просто отдыхаю!—сказалъ я.

— Развѣ паркъ малъ? можете итти въ другое мѣсто: бесѣдокъ много!—говорилъ старикъ; лицо его покрылось желтыми пятнами, рука съ палкой дрожала.

— Не угодно ли итти вамъ самимъ?

— Однако, г. Зуботычинъ, согласны вы взять деньги, иначе я приглашу ихъ въ свидѣтели.—И молодой человѣкъ указалъ на меня.

Старикъ окончательно растерялся, свернулъ бумажки, положилъ ихъ въ портмонэ и позвалъ молодого человѣка съ собой.

Дня черезъ два послѣ этой сцены я былъ въ гостяхъ у одного студента. Засидѣлся я долго, такъ часу до второго. Только вдругъ слышимъ мы возню надъ нами въ мезонинѣ. Но на это мы не обратили вниманія, потому-что тамъ могли быть пьяные гости; взглянулъ я въ окно—налѣво пожаръ. Хозяинъ мой тотчасъ же началъ укладываться, и мы въ десять минутъ стащили все, что дорого, а имѣнія у студента было немного. Предосторожность необходимая, такъ какъ студентъ жилъ во дворѣ въ заднемъ третьемъ флигелѣ, а горѣлъ сарай, находившійся у воротъ. Мы вытащили во дворъ чемоданъ и узелъ. Изъ другихъ квартиръ сновали тоже жильцы, кто въ одной сорочкѣ и въ фуражкѣ съ кокардой, кто босикомъ и съ книжкой, кто просто съ ящикомъ отъ комода. Изъ одного флигеля, ближняго къ пожару, выбѣжала молодая женщина такъ быстро, что чуть не сняла насъ и другихъ, такъ какъ во дворѣ уже было много какъ жильцовъ, такъ и другихъ любопытныхъ. Она была въ юбкѣ и въ тепломъ платкѣ, волосы растрепаны.

— Куда вы бѣжите?—спросилъ ее студентъ.

— Ой, горимъ!—и пустилась бѣжать, но бѣжать было некуда, потому что въ узкомъ дворѣ была давка, а изъ оконъ кидали чемоданы и, что попало подъ руку.

— Я вамъ помогу вынести что-нибудь. Что у васъ въ рукѣ?—спросилъ ее опять студентъ.

— Шиньонъ!—отвѣтила она и прижала крѣпко свою драгоцѣнность къ груди.

Мы разсмѣялись, пошли назадъ, влѣзли на чердакъ и стали къ слуховому окну.

— Чья эта дама съ шиньономъ?—спросилъ я студента.

— Это дочь чиновника Зуботычина; она, впрочемъ, замужемъ.

— Кто этотъ Зуботычинъ?

— Чиновникъ... А, да вотъ и онъ. Смотрите, стоитъ на крышѣ на колѣнахъ съ иконой.

— Я взглянулъ. На верхней крышѣ одного флигеля, около слухового окна стоялъ на колѣнахъ тотъ самый кособокій старикъ Зуботычинъ, который гналъ меня изъ парка. Онъ былъ въ халатѣ, босой, безъ фуражки и держалъ обѣими руками на головѣ образъ, устремивъ глаза на пламя. На нѣсколькихъ крышахъ тоже были мужчины съ иконами и безъ иконъ.

Я спросилъ студента, не знаетъ ли онъ чего-нибудь изъ жизни этого Зуботычина. Онъ далъ отрицательный отвѣтъ, а сказалъ только, что у него есть еще двѣ дочери-невѣсты. О сценѣ въ паркѣ я ему ничего не сказалъ.

Пріѣхали пожарные, оберъ-полицеймейстеръ, стали гнать со двора народъ, въ числѣ которыхъ выгнали и жильцовъ, не успѣвшихъ убѣжать въ свои комнаты; стали гасить огонь. Пожаръ началъ ослабѣвать. Ослабѣлъ и Зуботычинъ: онъ уже сидѣлъ и образъ держалъ на колѣнахъ и сидѣлъ до тѣхъ поръ, пока не уѣхали назадъ всѣ пожарные, и не осталось во дворѣ ни души. По случаю тихой погоды сгорѣлъ только сарай, который причинилъ многимъ жильцамъ убытки и большія хлопоты.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого я зашелъ въ одинъ изъ трактировъ, окружающихъ Сытный рынокъ, и спросилъ бутылку пива. Сѣлъ. Вдругъ входитъ тотъ самый молодой человѣкъ, что отдавалъ въ паркѣ Зуботычину деньги. Замѣтивъ меня, онъ подошелъ ко мнѣ.

— Здравствуйте! Мы, кажется, гдѣ-то видѣлись съ вами?

— Въ паркѣ. Вы были тогда съ Зуботычинымъ.

— А вы знакомы съ нимъ раньше?

— Нѣтъ!—И я разсказалъ, что видѣлъ его во время пожара на крышѣ съ иконой, и потомъ я спросилъ его:—вы должны ему, что ли, были?

— Нѣтъ. Тутъ дѣло другое. И я очень радъ, что развязался съ его дочерью.

— Какъ такъ?

— Очень просто: я хотѣлъ жениться на его дочери; было уже обрученье, да хорошо, что я

отказался, а то пришлось бы жить съ ней, а теперь я свободенъ.

— За что же деньги-то онъ взялъ?

— За то, что я отказался. Впрочемъ, они сами подали поводъ къ отказу. Да и не съ однимъ мной такимъ манеромъ поступаютъ, а и до меня было нѣсколько человѣкъ, нѣкоторые заплатили Зуботычину деньги безъ суда и по суду. Это я узналъ только очень недавно. Я вамъ, пожалуй, разскажу свою исторію. Это романъ.

Онъ потребовалъ двѣ бутылки пива и вотъ что онъ разсказалъ мнѣ.

— Я служу въ такомъ-то департаментѣ канцелярскимъ чиновникомъ и получаю жалованье по высшему окладу; кромѣ этого, я получаю награды и пособія; такъ что мнѣ жить очень можно, хотя бы и въ городѣ. Но тамъ мнѣ не нравится, тамъ и квартиры высоко, и грязно, и душно, и жарко, особенно лѣтомъ. Не люблю я тамъ жить. А здѣсь лучше, я къ Петербургской сторонѣ привыкъ, да и люблю жить въ одной квартирѣ. Въ теченіе восьми лѣтъ, какъ я пріѣхалъ изъ провинціи и водворился на Петербургской сторонѣ, я теперь перешелъ только на третью квартиру. Первая моя квартира, хотя и была въ мезонинѣ, но мнѣ очень нравилась, и я и теперь жилъ бы тамъ, если бы мнѣ не захотѣлось жениться. Захотѣлось жениться, да и кончено. Дѣвицъ много, и красивыхъ много, но какая-то робость не допускаетъ подойти къ дѣвушкѣ и предложить руку и сердце, однимъ словомъ, я не умѣю ловеласничать, хотя бы и хотѣлось подчасъ. Посѣщать извѣстные дома мнѣ было неловко, да я и боялся туда ходить. Посѣщалъ и Невскій проспектъ, гулялъ по вечерамъ и на Адмиралтейскомъ бульварѣ, гдѣ гуляютъ большею частью модистки; нѣкоторыя изъ нихъ предлагали мнѣ проводить ихъ, погулять съ ними, однако я не рѣшался: мнѣ хотѣлось жениться законнымъ образомъ, а изъ нихъ ни одной, по легкому ихъ поведенію, я не могъ выбрать въ жены.

Однажды въ прошломъ году, въ какой-то праздникъ, я гулялъ около заведенія минеральныхъ водъ; тамъ играла музыка; публика, большею частію чиновный и торговый классъ, или стояла, или бродила взадъ и впередъ; кто курилъ папироски, кто грызъ, по провинціальному, орѣхи; дамы кушали апельсины или груши. Молодыхъ дамъ было много. Сердце мое распалилось. Нѣсколько разъ я хотѣлъ подойти къ какой-нибудь дѣвушкѣ и предложить ей прогуляться со мной, потому что я замѣтилъ двухъ господъ, взявшихъ на буксиръ по дѣвицѣ. Робость проклятая: а вдругъ она закричитъ караулъ; еще, пожалуй, къ мировому судьѣ потащатъ, потому что у насъ, на Петербургской, строго блюдется нравственность, не то что въ Петербургѣ. И оскандалятъ, и изъ службы выгонятъ, и еще, пожалуй, въ тюрьмѣ насидишься. Разсердился я; выпилъ бутылку пива и хотѣлъ итти домой съ горя и завалиться спать. Только иду я домой черезъ бесѣдку и вижу: на одной скамейкѣ, вдали отъ другихъ, сидитъ молодая, красивая блондинка. Лицо у нея немножко съ веснушками, и на лѣвой щекѣ бородавка, но такъ мнѣ понравилось ея лицо, ея русые волосы и простенькое ситцевое голубое платье, что я влюбился въ нее въ ту же минуту. Однако приступить къ своему плану боялся. Пошелъ дальше, а сердце бьется, да такъ—просто хочетъ выскочить. Обошелъ я бесѣдку и пошелъ черезъ нее снова. Блондинка сидѣла на прежнемъ мѣстѣ. Я сѣлъ недалеко отъ нея и, когда садился, то замѣтилъ, что она немножко придвинулась и такъ граціозно поправила платье, что меня въ краску бросило. Она тоже покраснѣла. Минутъ пять я молчалъ и изрѣдка взглядывалъ на нее, она тоже взглядывала на меня и краснѣла. Наконецъ, я не выдержалъ. Я вытащилъ папироску и придвинулся къ блондинкѣ; она покраснѣла, потупила глазки, снова поправила платье.

— Мадмоазель, позвольте вамъ предложить папироску?—сказалъ я.

— Я не курю, — сказала она стыдливо, и все лицо у нея, какъ макъ, покраснѣло. Затѣмъ она встала и ушла.

— Вы скучаете?

— Нѣтъ.

— Что-жъ вы не гуляете?

— Я нагулялась.

— А какая погода отличная.

— Да.

Что было говорить больше? Въ моей головѣ только и вертѣлись: департаментъ, директоръ, начальникъ отдѣленія и тому подобный вздоръ. Надо было занять ее чѣмъ-нибудь, но чѣмъ? Хотя я и читалъ много романовъ, но всѣ эти разговоры выходили изъ моей головы на другой же день. Тоска была страшная, мнѣ было неловко, каждая минута казалась мнѣ часомъ, и я готовъ былъ, пожалуй, провалиться сквозь землю.

— Вы студентъ?—спросила наконецъ она меня.

— Нѣтъ. Я служу тамъ-то. А что?

— Такъ... Вы какую занимаете должность?

Я сказалъ, не скрылъ и объ жалованьи, наградахъ и пособіяхъ.

— А что, съ такимъ содержаніемъ мнѣ можно жениться?—вдругъ бухнулъ я.

— Не знаю... Можетъ-быть, и можно.

Я вытащилъ два апельсина. Одинъ взялъ себѣ, другой далъ ей. Она взяла, поблагодарила и начала чистить. Но я самъ очистилъ апельсинъ. Она опять поблагодарила и ближе придвинулась ко мнѣ. Мы погуляли съ ней полчаса, и потомъ я проводилъ ее до выхода изъ парка въ Сытный рынокъ. Потомъ я увидалъ ее черезъ мѣсяцъ. Она похудѣла. Въ этотъ разъ она разсказала мнѣ, что зовутъ ее Марьей Дмитріевной, по фамиліи Зуботычиной; что мать ихъ померла годовъ шесть тому назадъ, а отецъ Дмитрій Ильичъ Зуботычинъ въ отставкѣ ужъ седьмой годъ, получаетъ пенсію; что теперь служитъ въ какой-то частной конторѣ за двадцать-пять рублей въ мѣсяцъ; хочетъ купить тотъ домъ, въ которомъ они живутъ; что у нея еще двѣ сестры, изъ коихъ старшая Катерина уже просватана за чиновника, другая, Саша, еще только

двѣнадцати лѣтъ, а ей, Марьѣ Дмитріевнѣ, девятнадцатый годъ. Мы пошли вмѣстѣ гулять по парку. Встрѣтилъ я нѣсколькихъ товарищей, тѣ поздоровались со мной, раскланялись съ моей дамой и, глядя на меня, какъ-то насмѣшливо улыбнулись. Потому, вѣроятно, что меня до сихъ поръ дразнили святошей, а у нихъ были у каждаго любовницы по нѣскольку штукъ изъ извѣстнаго сорта. Мы подошли къ канавѣ, что у крѣпости, и сѣли на траву.

— А вы хотите итти замужъ? — спросилъ я Марью Дмитріевну.

— Не знаю.

— А если найдется женихъ?

— Какъ папаша!—и она вздохнула.

— Неужели онъ у васъ такой злой?

— Нѣтъ, онъ ничего. Только за меня сваталось уже пять жениховъ, и онъ отказалъ каждому.

— А если бы я посватался?..

— Какія вы говорите глупости. А сама покраснѣла и встала.

Я пошелъ ее провожать.

— Вотъ что,—начала она:—у насъ на коридорѣ, въ сосѣдней квартирѣ отдается комната.

— Такъ что?

— Коли хотите... переходите.

— Хорошо. А видѣться будемъ?

— Глупости. Прощайте.

Мы были у выхода изъ парка. Я крѣпко пожалъ ей руку и дальше не пошелъ.

На другой день, въ девять часовъ утра, я уже былъ въ томъ домѣ, гдѣ жили Зуботычины. Вмѣсто того, чтобы позвонить въ 16 №, гдѣ отдавалась квартира, я, по ошибкѣ, позвонилъ въ 15. Дверь мнѣ отворилъ самъ Зуботычинъ. Онъ вѣжливо указалъ мнѣ на сосѣдній №. Въ этомъ № я и нанялъ комнату въ два окна за шесть рублей; и несмотря на то, что мнѣ еще на старой квартирѣ слѣдовало жить двадцать дней, я все-таки, къ удивленію прежнихъ хозяевъ, перешелъ сюда, поступившись деньгами, такъ какъ извѣстно, что въ Петербургѣ, и въ особенности на Петербургской сторонѣ, не принято возвращать жильцамъ денегъ.

На прежней квартирѣ я обѣдалъ у хозяевъ за семь рублей въ мѣсяцъ. Здѣсь же хозяева не брались кормить меня, а старуха хозяйка сказала, что она поговоритъ съ сосѣдомъ Зуботычинымъ, который, можетъ-быть, согласится, потому что у него есть кухарка и дочери, причемъ какъ-то сладко улыбнулась и подмигнула. Въ этотъ день я на службу не пошелъ. Въ третьемъ часу къ хозяйкѣ пришла Марья Дмитріевна. Онѣ что-то пошептались, а я вышелъ въ коридоръ. За мной вышла и Марья Дмитріевна.

— Перешли? — спросила она радостно, схвативъ меня за руки.

— Какъ видите. А вашъ отецъ дома?

— Нѣту, онъ ушелъ гулять. Онъ говорилъ намъ, что къ Татьянѣ Ивановнѣ перешелъ красивый молодой человѣкъ.

Я поблагодарилъ за любезность и спросилъ, нельзя ли мнѣ обѣдать у нихъ.

— Познакомьтесь съ отцомъ.

И она убѣжала.

Я зашелъ къ Зуботычину вечеромъ попросить чернилъ.

Прихожу. Пьютъ чай. Я объявилъ свою просьбу и отрекомендовался.

— Очень пріятно, очень пріятно. Коллежскій ассессоръ Зуботычинъ. Это мои дочери,—рекомендовался Зуботычинъ.—Прошу покорно стаканъ чаю. Маша, гдѣ у насъ папироски?..

Я было сталъ благодарить, и хотѣлъ уйти, но Зуботычинъ почти насильно усадилъ меня за столъ, сказалъ, что Татьяна Ивановна уже передала ему мое желаніе обѣдать у него, и что онъ, пожалуй, согласенъ за восемь съ полтиной. Я согласился и просидѣлъ у нихъ долго. Старикъ былъ говорливъ. Онъ много толковалъ о своей службѣ, добрыхъ и злыхъ начальникахъ, и особенно хвастался своимъ счастіемъ, происходившимъ отъ вѣры въ Бога.

— Разъ,—говорилъ онъ,—еще когда я былъ холостъ, было время, что у меня денегъ не было ни гроша. Иду я на службу и думаю: гдѣ, какъ и, главное, на что я буду обѣдать? Вдругъ я увидалъ на панели двугривенный. Я перекрестился, возблагодарилъ Бога и поднялъ находку. Иду дальше—опять двугривенный. Я опять перекрестился и возблагодарилъ Бога. На двугривенный я пообѣдалъ, а другой двугривенный съ крестнымъ знаменіемъ положилъ на комодъ, благодаря Бога за то, что мнѣ есть на что завтра пообѣдать... И что же, сбираясь на службу, я подхожу съ крестнымъ знаменіемъ къ комоду, чтобы взять деньги — и вижу: вмѣсто одного двугривеннаго, лежитъ шесть двугривенныхъ... Говоря это, старикъ умилялся и часто, гдѣ нужно было по разсказу, крестился.

О себѣ онъ говорилъ, что родился и выросъ въ Петербургѣ. Пробовали родители сдѣлать изъ него важнаго человѣка посредствомъ наукъ, для чего и помѣстили въ гимназію, но онъ вышелъ изъ третьяго класса, не осиливъ языковъ, грамматики и ариѳметики. Съ такими плохими знаніями онъ далеко уйти не могъ, и закончилъ свою служебную карьеру на младшемъ помощникѣ столоначальника. Въ теченіе тридцати-восьмилѣтней службы (три года ему не зачли, такъ какъ онъ былъ тогда несовершеннолѣтній), онъ немного испыталъ хорошаго, но такъ какъ онъ не пьянствовалъ и жилъ на Петербургской сторонѣ, то ему жилось сносно. Здѣсь онъ женился на дочери помощника столоначальника, жившаго въ Колтовской, близъ Малой Невки, и тамъ жилъ до смерти жены, хотя ему и далеко было ходить на службу. Потомъ домъ онъ продалъ, переѣхалъ сюда, хотѣлъ здѣсь купить домъ, да просили дорого, а такъ какъ съ того времени, съ каждымъ годомъ, не только дома, но и квартиры дорожаютъ, къ тому же у него на ру-

кахъ три дочери, которыхъ надо пристроить за порядочныхъ людей, то онъ и не могъ собраться, чтобы купить домъ. Дѣвицы все это, кажется, знали хорошо и потому зѣвали на всю комнату, только Марья Дмитріевна посматривала на меня, хотя тоже широко разѣвала ротъ. Вдругъ старикъ Зуботычинъ обратился къ Марьѣ Дмитріевнѣ съ приказаніемъ сыграть на фортепьяно. Та не безъ нѣкотораго неудовольствія зажгла двѣ пальмовыя свѣчки, и за нею все общество двинулось въ просторную комнату, гдѣ стояла фисъ-гармоника. Марья Дмитріевна заиграла какой-то вальсъ: инструментъ дребезжалъ непріятно, Марья Дмитріевна играла плохо. Сестры ея, сидѣвшія на клеенчатомъ диванѣ, тупо смотрѣли на спину игравшей, и зѣвали, закрывая рты лѣвыми ладонями; зато почтенный отецъ былъ въ восторгѣ. Онъ улыбался.

— Каково? Хорошо?—спросилъ онъ меня.

— Недурно было бы, если бы инструментъ былъ получше!—сказалъ я.

— Ну, батюшка, мы люди бѣдные; куда намъ заводить дорогіе инструменты? Еще людей насмѣшишь. Маша, сыграй еще что-нибудь.

— Пѣсню какую-нибудь!—попросилъ я.

— Ну хоть пѣсню!—сказалъ отецъ.

Стала она перебирать ноты, долго рылась; щеки ея краснѣли.

— Что же ты? Ну хоть наизусть.

Марья Дмитріевна начала что-то играть, но я не понялъ ничего.

— Ты что играешь?—спросилъ отецъ.

— Я... я... смѣшалась дочь; на глазахъ у нея показались слезы. Мнѣ ея стало жаль, и я распрощался съ хозяиномъ и дочерьми. Хозяинъ звалъ меня завтра утромъ къ себѣ на чай.

Только я прихожу въ свою комнату, которая, какъ оказалось, находилась рядомъ съ залой Зуботычина, и слышу, что Зуботычинъ кричитъ:

— Для того на васъ тратятся, чтобы вы не умѣли жениховъ за собою удержать...

Слышались крупныя ругательства и шлепки. Кто-то плакалъ.

Я сталъ ходить къ нимъ обѣдать, и они дожидались, какъ бы поздно я не пришелъ. Послѣ обѣда, самъ Зуботычинъ уходилъ въ свою комнату спать, а я оставался съ дѣвицами; приходилъ и женихъ старшей сестры, мы играли въ карты, большею частью въ дураки, причемъ, у кого сколько оставалось на рукахъ картъ, того щелкали по носу, по количеству оставшихся картъ тѣми же картами, отъ чего все общество хохотало; и это насъ всѣхъ коротко сблизило, особенно меня съ Марьей Дмитріевной, такъ что въ декабрѣ дѣло дошло до поцѣлуевъ, украдкой отъ отца и сестеръ. И ко мнѣ она стала забѣгать. Съ женихомъ старшей сестры я тоже сблизился, но это былъ какой-то мрачный, молчаливый господинъ, да и смотрѣлъ какъ-то болѣзненно. Бывало, придетъ ко мнѣ, сядетъ, и если я ничего не скажу ему, онъ молча просидитъ хоть цѣлый день. Разъ даже онъ у меня заснулъ, сидя на стулѣ.

Родитель на наши шалости, смотрѣлъ сквозь пальцы. Наконецъ, Катю обвѣнчали съ флегматикомъ, который и поселился у нихъ. Черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы, Зуботычинъ засталъ меня и Машу на мѣстѣ преступленія: мы цѣловались. Онъ вспылилъ.

— Это что такое? Милостивый государь, что это такое,—спрашиваю я васъ? Пожалуйте.

Мы вошли.

— Пожалуйте за мной!

Онъ ввелъ меня въ свою спальную и заперъ дверь.

Я первый началъ просить руки Марьи Дмитріевны. Онъ нѣсколько минутъ молчалъ.

— Пожалуй, я непрочь... Я вижу, что вы не мотыга и не пьяница... но, кто васъ знаетъ: я знаю многихъ молодыхъ людей, которые только обѣщаютъ жениться, смущаютъ дѣвушку, а потомъ и драло.

— Я этого не сдѣлаю.

— Кто васъ знаетъ! Вонъ у Маши было пять жениховъ, и всѣ они, какъ оказалось потомъ, хотѣли жить, какъ бы вамъ сказать... страмъ! гражданскимъ бракомъ. Теперь я уже не намѣренъ такъ поступать, какъ поступилъ съ ними. Вы очень любите Машу?

— Очень.

— Такъ я прошу васъ принести мнѣ залогъ, что вы ее не обманете, а женитесь.

— Для чего же это?

— Для вѣрности. Я вамъ дамъ росписку, а когда женитесь, залогъ будетъ вашъ. Потомъ я хочу купить этотъ домъ съ флигелями, и сдѣлаю васъ управителемъ, и подарю одинъ флигель.

Меня зло взяло. Къ чему этотъ залогъ? Я сталъ холоднѣе къ Машѣ, хотя, можетъ-быть, она тутъ ни въ чемъ и невиновата.

— Какъ внесете залогъ—сдѣлаемъ обрученье, потомъ послѣ Пасхи и свадьбу сыграемъ.

— А какъ великъ залогъ?

— Да... такъ, примѣрно, рублей пятьдесятъ.

— У меня столько денегъ не наберется. Правда, у меня есть три билета съ выигрышами, но мнѣ жалко продавать ихъ.

— А развѣ мнѣ не жалко своей дочери. Можетъ-быть, у васъ есть вещи, я возьму подъ залогъ.

А у меня, дѣйствительно, было кое-что. Собираясь жениться, я купилъ въ разное время по полдюжинѣ серебряныхъ ложекъ, столовыхъ и чайныхъ, серебряный молочникъ, полдюжины мельхіоровыхъ ножей и вилокъ; у меня есть хорошее на мѣху пальто, и т. п.

— Я вамъ, пожалуй, дамъ свое теплое пальто или ложки.

— Зачѣмъ пальто, лучше дайте ложки, ножи и вилки.

Я принесъ. Старикъ выдалъ мнѣ росписку, что, «въ случаѣ неустойки, онъ принимаетъ въ обезпеченіе подъ залогъ, за обезчещеніе дочери, вещи, цѣною въ пятьдесятъ рублей».

— Я что-то не понимаю?

— Тутъ и понимать нечего.

Черезъ два дня пригласили священника; насъ обручили. За угощеніемъ я замѣтилъ, что ложки были мои, но промолчалъ. Наконецъ, наступилъ постъ. Мы всѣ оттовѣли. На шестой недѣлѣ, послѣ обѣда, на которомъ у Зуботычина были гости, и самъ онъ изрядно подпилъ, мы съ невѣстой крупно поспорили: больно ужъ она сдѣлалась капризна; къ тому же я замѣтилъ, что она уже меньше ласкова со мной; къ нимъ сталъ ходить какой-то офицеръ. Я ревновалъ. Шутя я замѣтилъ, что эти ложки мои.

— Что вы за вздоръ говорите! Это ложки наши,—сказала она.

— А я увѣряю, что мои.

Невѣста надула губы. Отецъ это замѣтилъ. Когда я пришелъ въ свою комнату, то услыхалъ крикъ отца.

— Это еще что такое? Я заплатилъ за ложки деньги, а онъ говоритъ: его! Извѣстно, когда-то были его, а теперь наши.

— Папаша!—унимала моя невѣста отца.

— Не твое дѣло! Ты знаешь, что я ему могу отказать. Офицеръ будетъ почище его.

Я разсердился и пошелъ къ нимъ.

— Я слышу, что вы говорите о ложкахъ...— началъ я дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

— Я... я ничего не говорилъ... Что вы, что вы?..— проговорилъ онъ, какъ-будто въ испугѣ.

— Да, я слышалъ.

— Маша, говорилъ я? — спросилъ онъ сурово дочь.

Маша сидѣла блѣдная и ничего не сказала.

— Тебя спрашиваютъ: говорилъ я или нѣтъ что-нибудь худое про твоего жениха?

— Нѣтъ,—отвѣтила робко моя невѣста.

— Слышите! съ чего же вы взяли? И все вы подслушиваете у стѣны.

Онъ подошелъ къ стѣнѣ со свѣчкой, оглядѣлъ стѣну и вдругъ отскочилъ.

— А! теперь я все понимаю! по-ни-ма-аю! Вы изволили телеграфъ сюда провести!

— Что такое?

— Смотрите!—и онъ подвелъ меня къ стѣнѣ.

Въ стѣнѣ я увидѣлъ отверстіе, выходившее въ мою комнату, такъ что, наставивъ въ него глазъ, можно было видѣть огонь и то, что доступно для одного глаза въ отверстіи на два дюйма въ діаметрѣ. Но я замѣтилъ, что отверстіе было пробито или проверчено съ этой стороны, а не съ моей. Его даже большимъ гвоздемъ можно было пробить, такъ какъ стѣна состояла изъ досокъ въ полтора пальца толщины. О существованіи этой дыры я и не подозрѣвалъ раньше; да, вѣроятно, не подозрѣвала и невѣста.

Я ушелъ, и почти цѣлую ночь душило меня зло. Мнѣ казалось, что меня обманывали, меня засадили въ клѣтку, но кто? Я ясно слышалъ разговоръ объ ложкахъ отца, и вдругъ онъ отпирается, отпирается и невѣста. Если бы я пьянствовалъ, то отнесъ бы все это къ галюцинаціямъ. Но я человѣкъ трезвый. Я заснулъ поздно и проспалъ долго, такъ что услыхалъ стукъ въ двери. Я отворилъ. Это былъ Зуботычинъ.

— Извините, пожалуйста, я немножко погорячился вчера. Это, должно быть, подъ вліяніемъ вина все случилось.

— Но ложки?

— Ну, полноте, пожалуйста, охота вамъ принимать все къ сердцу. Пойдемте пить кофій.

Я пошелъ. Невѣста моя была сумрачна, я тоже. Мы почти все время молчали. Офицеръ былъ тутъ же. Вставъ изъ-за стола, я подалъ руку невѣстѣ, она тоже подала, но скоро вырвала. Я пошелъ одѣваться на службу. Когда я вышелъ въ коридоръ, моя невѣста стояла у окна печальная. Я подошелъ къ ней.

— Вы сердитесь?

— Конечно. Ну, что это за срамъ сердить отца, дѣлать меня несчастною. Къ чему эта дыра?

— Ей-Богу, я не виноватъ.

— Не божитесь! Вы подглядывали за нами, подслушивали.

— А если бы и такъ—вѣдь мы женихъ и невѣста.

— Такъ вы негодяй.—И она быстро ушла.

Она не поняла моей шутки, она приняла ее въ серьезъ. Но я уже былъ радъ, что могу развязаться съ капризною дѣвчонкой. Ужъ если она теперь такъ командуетъ надо мной, что будетъ дальше?

На службу я пришелъ взволнованный. Сталъ переписывать, врется. Надо мною шутятъ, острятъ, смѣются, а меня беретъ зло. Однако, хочется мнѣ потолковать съ помощникомъ, съ которымъ мы друзья-пріятели. Улучилъ я минутку и позвалъ его къ окну. Разсказалъ вчерашнюю и сегодняшнюю сцену, показалъ росписку. Тотъ ахнулъ и меня же обругалъ.

— Дуракъ, братъ, ты, больше ничего, а еще чиновникъ. Невѣсты тебѣ не видать, какъ своихъ ушей, такъ какъ тамъ уже есть кандидатъ. Къ чему этотъ офицеръ? А ложки у тебя пропали. Лучше, братъ, простись съ ложками и бѣги съ квартиры.

Я задумался. Жалко мнѣ было Маши. Думалъ я, что эта дурь у ней не надолго. Стоитъ только купить бутылку одеколону, туфли съ золотомъ—все пойдетъ по старому. Вѣдь буду же я жить въ отдѣльномъ флигелѣ. Но въ этотъ день получали жалованье, и меня пригласили *обмывать* жалованье. Я доселѣ не участвовалъ никогда въ этихъ компаніяхъ, но теперь пошелъ. Попробовалъ выпить рюмку—горько, но ничего, выпилъ другую, разболталъ свое горе, товарищи хохочутъ и называютъ меня дуракомъ, осломъ... Много я пилъ и не помню, какъ попалъ домой. Только просыпаюсь утромъ—дома, лежу на кровати въ сюртукѣ, брюкахъ, и все это въ грязи. На столѣ стоитъ косушка. Дверь была полуотворена. Вошла хозяйка.

— Ай, ай! Гдѣ это вы были?

— А что?

— Да какъ, васъ вѣдь насилу втащили. Вы ничего не помните, потому безъ чувствія были.

— А тѣ?

И я указалъ на стѣну.

— Тѣ не знаютъ.

— А кто косушку принесъ?

— Это я принесла, потому что вамъ непремѣнно нужно опохмелиться. Я ужо принесу огурчика.

И она ушла.

Скверно вѣдь. Какъ вы думаете? Кто знаетъ, можетъ, я и обругался, и они слышали. Хотя хозяйка и говоритъ, что Зуботычины ничего не знаютъ обо мнѣ, но не можетъ быть: вѣдь меня тащили, стало-быть, былъ шумъ. Стыдно мнѣ было; я чувствовалъ себя виноватымъ. Но голова болѣла страшно, все тѣло ныло, чувствовалось разстройство въ желудкѣ. И что же бы вы думали! Вѣдь я всю косушку выпилъ, и, какъ выпилъ, у меня явилась храбрость, и я пошелъ къ Зуботычину. Дома его не было. Невѣста что-то шила. Я подсѣлъ къ ней. Она отодвинулась. Я ближе, она дальше. Мнѣ стало смѣшно.

— Милостивый государь, что вамъ угодно?— сказала она строго, встала и скрестила руки.

— Вотъ какъ!

— Уйдите, вы пьяны.

Меня взорвало.

— Хорошо. Завтра же я уѣзжаю. Извольте ваше кольцо, потому что у васъ уже есть на мое мѣсто кандидатъ—офицеръ.

Я ушелъ искать квартиру и нашелъ скоро, потомъ пошелъ въ департаментъ. Только-что я пришелъ домой, какъ моя хозяйка сказала, что меня зоветъ къ себѣ Зуботычинъ.

Я пошелъ, чтобы порѣшить окончательно. Въ залѣ сидѣли: самъ Зуботычинъ въ ветхомъ вицмундирѣ, офицеръ, два какихъ-то старыхъ, обрюзглыхъ крючкотвора, моя невѣста, Катерина съ мужемъ и младшая дочь. На столѣ лежали: кольцо, которое я возвратилъ, бумага, перья, и стояла чернильница.

— Вы меня звали?—спросилъ я.

— Да. Что это значитъ, что вы сегодня возвратили вашей обрученной невѣстѣ кольцо?—спросилъ меня старикъ Зуботычинъ.

— А то, что я, послѣ всѣхъ вашихъ продѣлокъ со мною, не хочу жениться.

— А! Зачѣмъ же вы сватались? Это нечестно! Такъ благородные люди не поступаютъ!—заголосили Зуботычинъ и крючкотворы.

— Вы нехорошо со мной поступили, а не я!

— Нѣтъ, вы. Вы меня обезчестили, обругали, какъ негодяй, а я по мо...—сказала моя невѣста и заплакала.

— Вотъ видите. Теперь ее никто не возьметъ замужъ. Однако, скажите напрямикъ: согласны вы жениться, или нѣтъ?—спросилъ отецъ.

— Нѣтъ, я уже квартиру нанялъ.

— А невѣста ваша какъ же?

— Это дѣло ваше.

— Да, именно мое. И я съ вами поступлю по закону. Я судить васъ уголовнымъ порядкомъ не хочу, силой заставить васъ жениться не имѣю права, а буду требовать съ васъ деньги за безчестье.

— Да, деньги, именно деньги!! Пятьсотъ рублей!—завопили крючкотворы, даже почему-то и мужъ старшей дочери распалился и тотъ завопилъ: деньги!

— Какія? за что? Вѣдь я уже отдалъ вамъ вещей на пятьдесятъ рублей.

— Э-ва! Вы думаете этимъ и отдѣлаться. Нѣтъ, голубчикъ, мы васъ съ квартиры не выпустимъ безъ двухсотъ пятидесяти рублей

— Но это вѣдь разбой?

— Никакого нѣтъ разбою. Денегъ если нѣтъ, пишите росписку.

Я выскочилъ. Сталъ складывать вещи, позвали полицію—обезчестилъ дочь. Но полиція позволила съѣхать, а Зуботычинымъ посовѣтовала обратиться къ мировому судьѣ съ жалобой на меня.

Я съѣхалъ. Разсказалъ въ департаментѣ объ этомъ казусѣ, тамъ сказали, что я не отвертусь, что-де лучше отдать деньги 250 руб., а то если онъ подастъ мировому судьѣ, то и четыреста заплатишь.

Дѣлать нечего. Пошелъ я къ Зуботычинымъ. Денегъ жалко, а жениться ужъ не хочется на Марьѣ Дмитріевнѣ, послѣ всѣхъ этихъ каверзъ. Прихожу я къ нимъ—самъ спитъ. Марья Дмитріевна шьетъ, одна къ комнатѣ. Жалко мнѣ стало ея; но я ужъ не захотѣлъ измѣнить своего рѣшенія. Все-таки я поздоровался съ ней за руку; но она сѣсть не пригласила. Я сталъ ходить по комнатѣ, куря папироску.

— Вы, Марья Дмитріевна, сердитесь на меня?— спросилъ я свою невѣсту.

— Конечно. Да и что говорить: вы, мужчины, всѣ одинаковы.

— Неужели вы думали, что отверстіе въ стѣнѣ провертѣлъ я?

— Я бы вамъ простила это, но вы оскорбили папашу, обругали меня, бросили мнѣ кольцо. Зачѣмъ вы пришли?

— Стало-быть, вы меня не любили.

Она заплакала. Я подошелъ къ ней, обнялъ ее; она меня легонько оттолкнула. Если бы въ это время не пришелъ ея отецъ, кто знаетъ, можетъ быть, я и женился бы на ней. Но въ дверяхъ показался самъ Зуботычинъ и все дѣло испортилъ.

— Вы зачѣмъ здѣсь? Кто васъ проситъ ходить сюда и безпокоить моихъ дочерей, послѣ того, какъ одной изъ нихъ,—обрученной вашей невѣстѣ, вы нанесли безчестіе. Принесли деньги?

— Нѣтъ. Но я прошу васъ сбавить пятьдесятъ рублей.

— Я согласенъ. Пишите росписку.

Я написалъ, что отрекаюсь отъ Марьи Дмитріевны Зуботычиной, за что и обязуюсь въ теченіе недѣли уплатить ей или ея отцу серебромъ двѣсти рублей и подписался.

— Пиши, что ты на нихъ своей претензіи не имѣешь,—сказалъ онъ дочери и подалъ ей росписку.

— Но, можетъ-быть, они... такъ... еще измѣ-

нятъ рѣшеніе,—проговорила дрожащимъ голосомъ дѣвушка.

— Не твое дѣло! Пиши... Успѣешь еще выйти замужъ!—проговорилъ строго отецъ.

— Воля ваша!.. — сказала она съ тяжелымъ вздохомъ и дрожащею рукою кое-какъ нацарапала то, что продиктовалъ ей отецъ.

Затѣмъ я ушелъ. Я шелъ въ городъ. Не успѣлъ я еще войти въ паркъ, какъ онъ нагналъ меня, остановилъ и сказалъ, что вздумалъ немножко освѣжиться. Онъ болталъ всякій вздоръ, какъ ни въ чемъ не бывало; между прочимъ, замѣтилъ, что я напрасно погорячился, такъ какъ мнѣ такой невѣсты не сыскать. Я молчалъ; на душѣ у меня было тяжело, мнѣ хотѣлось отдѣлаться отъ него поскорѣе. Вдругъ онъ спрашиваетъ меня:

— А вы совершеннолѣтній ли?

— Конечно. Я уже десятый годъ состою на службѣ. Можете завтра справиться въ департаментѣ.

— Вы, извините, но, знаете, осторожность всегда у мѣста. Разъ тоже одинъ господинъ хотѣлъ жениться на Катенькѣ, да схлыздилъ такъ же, какъ и вы. Онъ далъ мнѣ росписку. И что же вышло? Прихожу въ мѣсто его служенія,—говорятъ, вышелъ въ отставку. Я къ нему, а онъ говоритъ: мнѣ пошелъ, назадъ тому съ мѣсяцъ, только двадцатый годъ, а такъ какъ совершеннолѣтіе считается съ 21 года, то вы и не имѣли права вѣрить мнѣ, и поэтому ничего съ меня не получите. Я туда, сюда,—такъ ничего и не получилъ.

На другой день, какъ вы видѣли, я отдалъ ему деньги. Потомъ мы заключили условіе, что другъ на друга претензіи не имѣемъ.

— А ложки?—спросилъ я разсказчика.

— Онъ подаетъ на меня прошеніе мировому судьѣ о взысканіи съ меня пятидесяти рублей неустойки за обезчещеніе его дочери. Но у меня есть его росписка въ полученіи вещей. Только вѣдь мы все дѣло порѣшили на бумагѣ на двухъ стахъ рубляхъ. У меня есть и подлинная его росписка, подписанная и дочерью и тремя свидѣтелями, а у него копія.

— Съ тѣхъ поръ вы не видали невѣсты?

— Видѣлъ, въ прошлое воскресенье—шла отъ Спасителя. Что, спрашиваю я, сыграли комедію? А она говоритъ: не грѣхъ вамъ обижать меня. Я вотъ иду отъ Спасителя, мнѣ грѣшить не хочется, я, право, тутъ ни въ чемъ не виновата. Отецъ и съ прежнихъ жениховъ бралъ деньги, разстроивая свадьбы.—Что же молчите и терпите?—Не могу: онъ все-таки отецъ.—А вы подтвердите ваши слова въ судѣ?—Ни за что.

Такъ мы съ ней и разстались. Теперь, вѣроятно, Зуботычинъ ухаживаетъ за офицеромъ. Интересно бы знать: кто кого надуетъ.

Нарвавшійся чиновникъ кончилъ. Мы выпили и распрощались. На этомъ и я кончаю. Прибавлю только, что старика въ паркѣ я уже давно не вижу, что же касается до достовѣрности разсказа, то могу только сказать, что подобные факты на Петербургской сторонѣ не рѣдкость.

На общественномъ гуляньѣ въ Лѣтнемъ саду.

(28 іюня 1870 г.).

Сцены.

I.

Около Лѣтняго сада.

7 часовъ вечера. Съ набережной Мойки, начиная съ Цѣпного моста до Лебяжьяго канала проѣзда совсѣмъ нѣтъ, потому что толпятся массы народа въ цѣлыя тысячи. По этой сторонѣ Лѣтняго сада, находящагося противъ Инженернаго замка, находятся двѣ будки, и къ этимъ будкамъ, на видъ гораздо меньше полицейскихъ—и безъ флаговъ, стремятся тысячи. Давка страшная. Женщины пищатъ, мужчины ругаются и проклинаютъ нераспорядительность. На это имъ мастеровые (впрочемъ въ сюртукахъ и кафтанахъ изъ чернаго и синяго сукна) заявляли, что нужно бы было прійти въ 2 часа.

Приходитъ какой-то баринъ 8-го класса съ барыней. Онъ толкается впередъ, но его не пускаютъ—его давятъ. Дама тащитъ его.

— Билетовъ не продаютъ,– говорятъ сосѣди барина.

— Какъ не продаютъ?—свирѣпѣетъ баринъ.

— Такъ и не продаютъ—не хватило. Городовые и вся полиція съ оберъ-полицеймейстеромъ не могли напастись, говоритъ какой-то статскій совѣтникъ, стоящій рядомъ съ жандармомъ. Такъ ли? спрашиваетъ статскій совѣтникъ жандарма.

— Меня совсѣмъ стиснули. Я бы радъ былъ и уйти съ гулянья...—говоритъ жандармъ.

Но народъ, кромѣ двухсотъ человѣкъ, не слышитъ жалобъ жандарма, стоящаго на манеръ статуй Лѣтняго сада, съ тѣмъ различіемъ, что первый—живой, но молчаливъ, а вторыя—обломаны, опакощены, и каменныя.

— Двиньтесь, господа!—кричитъ тысяча человѣкъ.

Начинается движеніе, хорошо памятное въ Христову заутреню въ Исаакіевскомъ соборѣ, гдѣ для русскаго народа отворяется для входа только одна узенькая дверь и гдѣ ужъ столько людей вслѣдствіе этого получили увѣчье. Но тамъ тѣмъ хорошо, что нѣтъ полиціи у дверей, а здѣсь то-и-дѣло слышатся возгласы городовыхъ, квартальныхъ и пр., которыхъ надо считать сотнями, возгласы, требующіе не тѣсниться.

Народъ, какъ передъ какимъ-нибудь событіемъ, спѣшитъ къ другимъ будкамъ, но и тамъ давка страшная, но и тѣ, которые стоятъ тамъ, утѣшаютъ заднихъ: билетовъ не выдаютъ, хотя и много будокъ.

Публика—одни свирѣпѣютъ, другіе, отъ нечего дѣлать, острятъ, но все-таки у каждаго держится въ кулакѣ 20 коп.

Кто-то кричитъ:—«подайте билеты? Здѣсь народное гулянье! А если вы полиція—вы должны всѣхъ пускать!»

— Молчать!—кричитъ около будки кто-то.

— Я первой гильдіи купецъ, а мнѣ кричатъ: молчать...—говоритъ тотъ же голосъ.

— Былъ ты купецъ, да сплылъ,—остритъ кто-то.

— Кабы мнѣ сказаться графиней!—толкуетъ одна дама въ шелковой мантильѣ, въ наколкѣ и бумазейной юбкѣ.

— Нѣтъ, ужъ намъ не попасть.

— А Катя? А Миша?

— Господинъ жандармъ, пропустите!—говоритъ хотящая назвать себя графиней.

Жандармъ молчитъ.

Публики прибываетъ больше и больше.

— Билетовъ не напечатали,—говоритъ, повидимому, книгопродавецъ.

— Ахъ шельмы! Это кто-нибудь не изъ нашихъ.

— А вы кто?

— Очень мнѣ нужно сказывать.

— Какъ же они не напечатали. Этакъ мы и музыки не услышимъ?

— А купеческій, прикащицкій клубъ?

Чиновники съ женами и любовницами терпятъ пораженія: дамы въ бокъ, мужчины въ спину и шею. Отъ кого получаютъ—неизвѣстно. Благо общественное гулянье.

Становится тѣснѣе и тѣснѣе.

— Батюшки! у меня вѣдь часовъ-то нѣтъ!—говоритъ кто-то, повидимому, и чиновникъ, и приказчикъ, и купецъ, и дворянинъ, потому-что одежда его примѣнима къ всѣмъ этимъ сословіямъ по-петербургски, а по волосамъ и разговорамъ онъ соотвѣтствуетъ даже дипломатамъ.

Тысячи человѣкъ схватились за свои карманы—и улыбнулись. Улыбнулись потому, что все было цѣло.

Прошло полчаса. Билетовъ не выдаютъ. На улицѣ народъ растетъ. Но растетъ народъ приличный.

Въ лаптяхъ и сѣрой поддевкѣ мужчинъ не пускали. Они наравнѣ съ бѣдными людьми, не имѣющими средствъ быть за 20 коп. въ саду, стояли около рѣшетки—что напротивъ выставки, около Фонтанки.

— Должно-быть, они много заплатили,—говоритъ дама кавалеру, указывая на народъ, находившійся уже въ Лѣтнемъ саду.

— Ужъ не знаю. Надо полагать. Господинъ городовой, какъ та публика попала?—спрашиваетъ кавалеръ городового.

— Пришли раньше—съ пяти часовъ утра.

— Но какъ же въ газетахъ писано и въ объявленіяхъ тоже, что въ два часа?

— Билеты продавались въ магазинахъ,—сказалъ какой-то купецъ.

Наконецъ, публика, уже хотѣвшая итти домой, вдругъ заколыхалась: въ будкахъ стали билеты продавать.

Давка страшная. Народъ свирѣпѣетъ,—точно на войнѣ. На входахъ въ садъ стоятъ по участковому, которые отбираютъ билеты.

— Позвольте?—просятъ свой билетъ входящій.

— Идите!—говоритъ участковый сердито.

— Но, однако—на память.

— Не тѣснитесь, вамъ говорятъ!

— Ужъ лучше идите, а то и въ зашей,—остритъ кто-то.

II.

Въ Лѣтнемъ саду.

На аллеяхъ, ближнихъ къ будкамъ, съ вещами, предназначенными для розыгрыша, и колесомъ, съ множествомъ бумажныхъ трубочекъ въ немъ, давка. Но публика больше изъ торговаго и чиновнаго сословій. У всѣхъ на лицахъ выражается нетерпѣніе, но сдержанное,—никто не бросается, слоня голову, за билетами, а подходитъ медленно: у кого трясутся губы, у кого руки; глядятъ и хитро и сурово; каждый чего-то ждетъ, но на землѣ уже тысячи разорванныхъ и запросто брошенныхъ билетовъ съ надписью «аллегри». Всѣ смотрятъ на прохожаго, идущаго съ взятыми билетами. У этихъ или жалкій видъ въ лицѣ, или какая-то злая улыбка.

Купецъ *(развертываетъ билетъ)*. Козьи ноги! *(бросаетъ билетъ и развертываетъ другой и бросаетъ. У него взято шесть билетовъ и всѣ пустые)*. Ловко!

Чиновникъ. Не выиграли?

Купецъ *(съ досадой)*. Чортъ тутъ выиграетъ! *(плюетъ)*. Сколько билетовъ-то?

Другой купецъ. Ну я попытаюсь. Я ужъ просадилъ пять рублей. Но я возьму еще: потому дѣтей жалко.

Купчиха. Иванъ Григорьичъ, будетъ! У тебя у самого дѣти...

Другой купецъ. Дура! Вѣдь велосипедъ не худо выиграть. Я возьму на счастье Пашки десять билетовъ *(уходитъ съ купчихой къ будкѣ)*.

Чиновникъ *(бросая билетъ)*. Послѣднія двадцать копеекъ прошвырялъ! Больше никогда не стану брать билетовъ. *(Сосѣду чиновнику)*. Ну-ка, покажите!

Сосѣдъ чиновникъ. Нѣтъ, ужъ я дома.

Чиновникъ. Да вѣдь вещи будутъ выдаваться съ девяти часовъ? Вы, должно-быть, выиграли козьи ноги.

Другой чиновникъ. Ну, нѣтъ. Я всегда выигрывалъ и теперь тоже что-нибудь выигралъ *(развертываетъ билетъ вкрадчиво и потомъ бросаетъ его)*. Надо еще взять. Это оттого я не выигралъ, что бралъ билетъ не одинъ *(уходитъ къ будкѣ)*.

Барыня подъ руку съ мужемъ. Ты возьмешь на меня?

Мужчина. Да. Сколько?

Барыня. Возьми три.

Оба подходятъ къ будкѣ. Полицейскій вынимаетъ изъ колеса пять билетовъ и даетъ мужчинѣ. Мужчина передаетъ три билета барынѣ. Смотрятъ.

Барыня. Что же это—аллегри?

Мужчина *(хохочетъ)*. Это, душечка, пустой, значитъ.

Барыня. Но, Саша, зачѣмъ же это полицейскій самъ выбралъ билеты, а не ты, и зачѣмъ онъ не повертѣлъ колесо?

Мужчина. А вотъ мы еще возьчемъ по одному сами: я одинъ и ты одинъ *(подходитъ къ колесу. Дамъ въ коричневомъ платьѣ, стоящей у колеса)*. Позвольте мнѣ билетъ.

Полицейскій. Одинъ?

Барыня. И мнѣ одинъ.

Полицейскій подаетъ обоимъ по билету.

Мужчина. Нѣтъ, я самъ...

Барыня. Это подлогъ!

Мужчина. Отчего вы не повертѣли колеса?

Ихъ оттираютъ сотни три народу.

Восемь часовъ вечера. Садъ полонъ народу. На большихъ дорогахъ давка; на травѣ лежитъ народъ—преимущественно прилично одѣтые мастеровые всевозможныхъ разрядовъ, солдаты, матросы, горничныя, швеи, чиновницы, чиновники, воспитанники, музыканты, но людей въ лаптяхъ и сѣрыхъ зипунахъ нѣтъ, потому что ихъ не пускали. Большинство лежитъ на животахъ, поколачивая подъ тактъ ближайшей музыки ногами, куря папиросы и уничтожая орѣхи. Трава вся смята. По всѣмъ аллеямъ висятъ шкалики для освѣщенія, къ верхушкамъ деревьевъ зацѣплены на бичевкахъ тоже разноцвѣтные треугольные фонари. Музыка играетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ; у дѣдушки Крылова поютъ военные пѣсенники, но у Крылова народу немного, потому что всѣ скамейки заняты еще съ двухъ часовъ, а къ памятнику прислониться опасно: рѣшетка недавно выкрашена и мараетъ. Публика ведетъ себя скромно, чинно, только дѣти кружатся около своего дѣдушки.

У памятника:

Мастеровой *(товарищу)*. Смотри, слонъ! Ахъ шельма! И какъ похожъ?

Другой мастеровой. Похожъ. Вотъ недавно вели слона въ зоологическій садъ. Страсть! Только у того, у этого настоящаго, этотъ языкъ цѣпью былъ связанъ.

Первый мастеровой. Потому цѣпью связанъ хоботъ, что его въ плѣнъ взяли.

Другой мастеровой. Ишь ты, братъ! А за что жъ его въ плѣнъ?

Первый мастеровой. Потому бунтовалъ ужъ очень! А Демьянову уху вишь?! *(Смотрятъ)*.

Половина девятаго. Зажигаютъ фонари.

Купчиха *(мужу)*. А знать-то этотъ садъ не мало вскочитъ казнѣ!

Купецъ. А что?

Купчиха. А какъ: траву всю сняли—хоть бы коровъ пустили.

Купецъ. Пустое говоришь! Потому и гулянье, что выставка. Для выставки гулянье, потому рядомъ. А это гулянье тоже выставка...

Купчиха. А вотъ, теперича, фонари. Вѣдь все сожгутъ.

Купецъ. А за что брали по двугривенному? А народу здѣсь почти весь Питеръ, а ты сочти сколько это сбору наберется. Но главное дѣло теперь иностранцевъ мы хочемъ удивить, что вотъ, молъ, сколь у насъ въ Питерѣ народу *(третъ животъ)*. Одно скверно—водки не продаютъ. *(Смотритъ направо. На травѣ, подъ деревьями сидитъ группа мастеровыхъ. Они украдкой пьютъ изъ полуштофа водку)*. Ну, вотъ! Нашъ братъ, небось, догадливъ, дуй ихъ горой. Провели таки полицію! *(Уходятъ)*.

Въ одномъ мѣстѣ буфетъ, который состоитъ изъ загородки, въ серединѣ которой на столахъ стоятъ шесть бочекъ съ пивомъ. Солидный господинъ съ саквояжемъ на груди, набитымъ кредитными билетами то-и-дѣло беретъ деньги, которыя и кладетъ на столъ. Буфетъ окруженъ ежеминутно сотнями людей, которые чуть-чуть не дерутся изъ-за кружекъ.

Чиновникъ *(служителю)*. Позвольте пива.

Служитель суетится, ему суютъ заразъ шесть кружекъ, изъ коихъ онъ можетъ схватить только одну, потому что остальныя вырываютъ.

Другой буфетъ: шалашъ, крытый дырявымъ холстомъ. Въ немъ стоитъ десятка полтора столовъ, съ четырьмя стульями у каждаго, которые качаются, такъ какъ мѣсто неровное. Всѣ мѣста заняты. У входа стоитъ огромный самоваръ ведеръ въ пять и больше и ушатъ съ жижицей, похожей на чай.

Городовой *(служителю)*. Послушай, братецъ, что жъ ты не дашь самовару скипѣть, а все только подливаешь да подливаешь холодной воды?

Служитель. Сожрутъ.

Городовой. Нѣтъ, однако! Я вѣдь прикажу и вылить.

Служитель. Ну! Что жъ я сдѣлаю, коли требуютъ чаю. Вонъ сколько надавали чайниковъ-то.

Городовой. Да ты хоть чайники-то полощи, стаканы вымой.

Служитель. Есть мнѣ когда. *(Суетится)*.

Входятъ купецъ съ женой и двумя дѣтьми. У мальчика маленькій дѣтскій шкафикъ, у дѣвочки шкатулочка.

Купчиха. Ну, и устала же я! Хоть бы сѣсть. *(Смотрятъ гдѣ бы сѣсть; но мѣста нѣтъ)*.

Одинъ изъ сидящихъ *(купчихѣ)*. Это ваши дѣтки выиграли?

Купчиха *(надменно)*. Суприз получили.

Купецъ *(сердито)*. Суприз! А каково бокато намяли! А ихъ *(указываетъ на дѣтей)* чуть-чуть не задавили. Устроили буфеты! Тоже только обирать. И сѣсть негдѣ. *(Къ сидящимъ)*. Вы скоро?

Одинъ изъ сидящихъ. Намъ еще не подавали чаю.

Купчиха. Это наказанье. *(Служителю)*. А дорогъ здѣсь чай?

Служитель. Шесть гривенъ-съ.

Купецъ. Пойдемъ! Ну ихъ!!

Купчиха. А люминація?

Купецъ. Пойдемъ пиво пить.

Одинъ изъ вновь вошедшихъ. Извините-съ! Пива не даютъ,—говорятъ: все вышло.

Уходятъ.

На травѣ подъ деревьями толпа изъ ста мастеровыхъ молодыхъ кидаетъ въ другую сотню скошенную траву, такъ что только и видно одно сѣно. Зрители прибываютъ и хохочутъ.

— Браво! ха-ха! Знать война: пруссаки съ французами зачали!.. Валяй! Ну-ка, чья возьметъ.

Хохотъ и одобренія. Воюющихъ расталкиваетъ полицейскій и кричитъ: «это что такое? Перестать!»

Играющіе не перестаютъ; народъ растетъ, сыплются изъ тысячи рукъ охапки травы, остроты. Полицейскаго затерли. Давка, хохотъ, визги.

Полицейскій (*оробѣвъ*). Ишь задумали какую орлянку! Господа, будьте добры, выпустите...

Народъ даетъ ему дорогу. Шалуны расходятся. Садъ освѣщенъ хорошо; публика расходится, остается бѣдный народъ. Попадаются пьяные.

У газогара стоитъ человѣкъ десять.

Одинъ. Что же это? газогаръ!

Другой. Чудно нонѣ все! Прежде мы жгли сальныя свѣчи, потомъ стеариновыя, потомъ этотъ Шандоръ, а теперь опять. Только что жъ онъ не горитъ? А вѣдь обѣщано было.

Офицеръ стучится въ дверь.

Голосъ изнутри. Что вамъ?

Офицеръ. Позвольте посмотрѣть аппараты.

Голосъ. Нельзя!

Офицеръ. Позвольте. Мнѣ надо воспитанникамъ показать. Мы пріѣзжіе.

Офицера впускаютъ съ двумя воспитанниками; за ними ворвалось человѣкъ десять. Мужчина ихъ гонитъ.

Одинъ. Позвольте! Отчего газъ не горитъ?

Мужчина. Самого нѣтъ. Онъ заболѣлъ и совсѣмъ не былъ сегодня.

Другой. Значитъ, сегодня горѣть не будетъ свѣтъ?

Мужчина. Нѣтъ.

Третій. А я почти только для этого друмондова свѣта и шелъ.

Недалеко отъ газогара публика двигается около чугунной рѣшетки, что у Фонтанки.

Голосъ изъ-за рѣшетки. Иванъ Иванычъ!

Мужчина въ шляпѣ (*оглядывается*). А! Степанъ Степанычъ. Что жъ вы не здѣсь? Вѣдь мы вмѣстѣ пришли.

Мужчина изъ-за рѣшетки. А я пошелъ на буфетъ, что на Фонтанкѣ, выпить. Выпилъ и иду сюда. Не пускаютъ. Говорятъ, билетовъ нѣтъ.

Толпа хохочетъ.

Публика расходится изъ сада. Въ саду отъ фонарей душно.

Изъ неизданнаго романа „Чужой хлѣбъ".

Сидѣлка.

Анна Андреевна Крюкова, поживши въ Петербургѣ полторы недѣли, дошла, что называется, до положенія нищаго: деньги всѣ вышли, пріобрѣсти новыя неоткуда, изъ дому никто не пишетъ, работы достать не можетъ ниоткуда, потому что въ Петербургѣ она живетъ недавно; знакомые у нея только квартирные хозяева, которые за неплатежъ за квартиру наличными деньгами, почти всѣ стали недовольны ею и по-своему, конечно, думали, что изъ нея ничего путнаго не можетъ выйти; къ тому же Петербургъ вѣдь не Ильинскъ, не Егорьевскъ или какой-либо другой большой губернскій городъ. Шатаясь по Екатерининскому каналу, близъ гостинаго двора, она, между прочимъ, узнала, что въ одномъ домѣ, находящемся около этого канала, помѣщается болѣе десяти тысячъ народу. И это въ одномъ домѣ! А сколько въ Петербургѣ большихъ каменныхъ домовъ! ей уже извѣстно, что въ домѣ, гдѣ Знаменская гостиница и гдѣ она жила первые дни по пріѣздѣ, живетъ тоже чуть ли не столько. Народъ снуетъ всюду, и хотя этотъ народъ не кричитъ «хлѣба надо!», а кажется будто бы довольнымъ, какъ будто всѣ эти люди свыклись со столицей и всѣ имѣютъ кусокъ хлѣба, но кто знаетъ, правда ли это? Поневолѣ встанешь втупикъ. Остается просить милостыню. Но Боже мой! Ей, дочери чиновника, ей, порѣшившей съ семейной провинціальной жизнью и ея благами,—ей, пріѣхавшей въ столицу за работой, для того, чтобы жить самостоятельно, —даже подумать объ милостынкѣ стыдно.

Что же дѣлать-то? Вотъ и хозяйка, Анна Петровна, дуется; хозяинъ, Никифоръ Егорычъ, ворчитъ; дѣти ихъ, Коля и Настя, хихикаютъ, кухарка смотритъ косо и съ презрѣніемъ. И лишь только она задумается, тотчасъ начинается бредъ: всѣ точно сидятъ въ ея головѣ и поочередно ворчатъ глухимъ голосотъ: «у-у! ты!!. выгонимъ... выгонимъ!.. Сейчасъ, сію минуту выгонимъ!..»

Заплачетъ она, встанетъ и пойдетъ къ хозяевамъ.

— Никифоръ Егорычъ! Анна Петровна! Не гоните меня... Не гоните.

— Полноте, Анна Андреевна! мы васъ не гонимъ. Поживите. Вѣдь Питеръ-то не клиномъ сошелся.

— Да ждать-то долго. Если бы у меня были деньги...

— Ну, нельзя пріобрѣтать все сразу. Вы еще вотъ пріѣхали съ деньгами, а то вонъ пріѣзжаютъ безо всего, на авось.

— Да я бы хоть за какую угодно работу взялась: я бы полы мыть стала, я бы въ кухарки нанялась.

— Ну... Вы вѣдь чиновническая дочь, не стер-

пите, недѣлю проработаете, потомъ сляжете. А вотъ вы намъ должны за квартиру,—оно, положимъ, уголъ въ кухнѣ, но все-таки на этомъ мѣстѣ можно положить или поставить что-нибудь... вы извините. Хлѣба намъ не жалко. Я говорю къ тому, что мы люди бѣдные, живемъ только своимъ ремесломъ: шиньонъ сдѣлать пустяки, но хорошо, будутъ ли еще покупатели?.. Да вы не плачьте; слезы—это вода, пустое; а вотъ вы за нашу доброту помогите намъ шиньоны дѣлать. Работа пустяшная, только посидѣть нужно.

Обрадовалась Анна Андреевна этому предложенію и взялась за дѣло. Волосъ оказалось немного. Никифоръ Егорычъ, говорилъ что волоса достаются очень трудно, только изъ одной мѣстности въ Россіи и изъ семи въ Германіи, да и то фабрикуются въ Парижѣ. Онъ очень ругался, что нельзя достать волосъ отъ евреекъ, которыя, «чортъ ихъ знаетъ, куда дѣваютъ свои волосы». Теперь оставалось только распрессировать ихъ, вымочить для мягкости и глянца въ купоросномъ маслѣ, пришпилить на болванъ и сшить толкомъ, а потомъ завить. Работа, дѣйствительно, пустяшная, и въ двое сутокъ, отъ пяти часовъ утра до двухъ ночи, съ небольшими промежутками для кофея, обѣда и чая, Анна Андреевна до тонкости усвоила эту механику. Однако, работа эта ей сильно надоѣла, не потому, что ей было лѣнь, а потому, что когда варили на плитѣ купоросное масло, то по всей квартирѣ такія поднимались вонь и чадъ, что у нея кружилась и болѣла голова. Ѣло до слезъ глаза, и даже жильцы въ это время убѣгали вонъ изъ своихъ комнатъ.

Эти вонь и чадъ наполняли маленькую квартиру Никифора Егорыча цѣлые шесть часовъ. Кромѣ этого, жизнь у парикмахера еще потому казалась противной Аннѣ Андреевнѣ, что въ отсутствіе Никифора Егорыча и его супруги, дѣти ихъ начинали шалить до того, что выводили ее изъ терпѣнія: то они тащили отъ нея болванъ, то старались сѣсть на нее верхомъ, но къ чести ихъ надо сказать, что никогда на нее не сплетничали, а поили ее даже остатками чая отъ жильцовъ; зато хозяинъ бранился, упрекая ее въ лѣни и попрекая хлѣбомъ.

На шестой день ея занятій у парикмахера былъ конченъ одинъ шиньонъ. Былъ праздникъ. Хозяинъ собрался въ церковь, а Аннѣ Андреевнѣ поручилъ снести шиньонъ въ .... скую больницу надзирательницѣ, причемъ сказалъ:

— Вы будьте посмѣлѣе, потому что тамъ васъ будутъ спрашивать, къ кому вы идете, а вѣдь у васъ знакомыхъ больныхъ тамъ нѣтъ; надзирательница, можетъ-быть, и уйдетъ сегодня изъ больницы, если только она не дежурная; поэтому вамъ могутъ указать другую надзирательницу, а моя заказчица попадетъ впросакъ. Я говорю: будьте посмѣлѣе, посмѣлѣе, потому что смотрители народъ бѣдовый, плутъ, сразу видятъ человѣка; вы требуйте прямо Зину Григорьевну Мокрякову. Она рыжеватая, низенькая; носъ у нея крючкомъ, глаза разные,—одинъ карій, другой сѣрый. Но и съ ней будьте осторожнѣе. Вы отведите ее въ сторону и на ушко сообщите, зачѣмъ вы пришли. Главное, чтобы никто не видалъ; а то, какъ увидятъ, донесутъ начальницѣ; начальница у нихъ строгая, не очень-то балуетъ ихъ. А главное, не забудьте получить денежки. А какъ получимъ деньги, я ужъ васъ угощу горячими сосисками.

Таково было первое порученіе. Надѣла на себя Анна Андреевна старое шелковое съ оборками платье, подолъ разорванъ, загрязненъ.

Задумалась Анна Андреевна. Анна Петровна замѣтила это и по-своему утѣшила:

— Ничего, здѣсь не провинція: на васъ никто и вниманія не обратитъ.

Надѣла она свою круглую шляпку, взяла шиньонъ, но какъ нести его?

— Эдакой вѣдь, право, этотъ Никишка. Надо бы коробочку какую-нибудь. Постойте, я заверну его въ бумагу, а вы его подъ корсетъ спрячьте, не испортится.

Никогда до сихъ поръ Анна Андреевна не бывала въ большихъ больницахъ. Правда, въ Егорьевскѣ есть больница, она бывала тамъ раза два и по ней судила и о столичныхъ больницахъ. Въ Егорьевскѣ больница огромная, съ длинными коридорами, на полу которыхъ ничего не постлано, кое-гдѣ по вечерамъ горитъ масло, которое ко второму часу ночи гаснетъ, служителей мало, да и тѣ грубы; пахнетъ мертвечиной. Каково же было ея удивленіе, когда, только что отворивъ парадныя двери, она увидала швейцара, полъ изразцовый, постланы мягкія кошмы, вѣшалки крашеныя, такъ и блестятъ, окна высокія. И прихожая эта такая большая, свѣтлая, чистая; въ ней чувствуется какой-то страхъ; черезъ нее проходятъ какіе-то чиновники въ вицмундирахъ; въ нее входятъ и изъ нея выходятъ какія-то барыни въ мѣховыхъ салопахъ, дорогихъ капорахъ. Когда же она, по вѣжливому указанію швейцара, вошла во второй этажъ зданія, то удивленію ея и конца не было: вездѣ все сдѣлано въ въ большихъ размѣрахъ, свѣтло, чисто, тепло; въ каминахъ трещатъ дрова, и если бы не видъ больныхъ въ сѣрыхъ халатахъ, съ повязанными головами, больныхъ съ блѣдно-желтыми лицами, впавшими внутрь щеками, то ходящихъ медленно по длиннымъ коридорамъ, заглядывая въ большія окна, выходящія на дворъ и на улицу, то лежащихъ на кроватяхъ въ своихъ палатахъ, двери въ которыхъ были отворены; если бы не это и не кашель сотенъ человѣкъ, доносящійся сюда изъ палатъ, и не гулъ множества голосовъ,—то она готова бы была заключить, что находится въ хорошемъ мѣстѣ, въ которомъ житье самое чудное. Въ нѣсколькихъ палатахъ она замѣтила ширмы и почти въ каждой по нѣскольку человѣкъ посѣтителей, принадлежащихъ большею частью къ мѣщанскому или чиновническому сословію.

На спросъ ея: «гдѣ надзирательница Зина Григорьевна?» ей какая-то барыня въ черномъ платьѣ и въ бѣломъ чепцѣ на головѣ велѣла подождать, сказавъ ей, что она ушла въ верхній этажъ къ трудно больнымъ.

Вотъ раздался звонокъ. Изъ всѣхъ палатъ высы-

пали женщины въ синихъ сарафанахъ съ бѣлыми передниками. Онѣ стали отпирать шкафы, вытащили оттуда корзинки и ушли куда-то внизъ.

Другая барыня въ коричневомъ платьѣ, сидѣвшая на крашеной подъ лакъ скамьѣ и что-то вязавшая, вдругъ спросила Анну Андреевну: знакома она или нѣтъ съ Зиной Григорьевной? и этимъ поставила ее втупикъ. Хотя Анна Андреевна умѣла всегда отвѣчать, не затрудняясь, но, помня наставленіе парикмахера, теперь рѣшительно не знала, что сказать, и сказала наобумъ, что хотя она Зину Григорьевну и не знаетъ, но имѣетъ до нея дѣло. Барыня пристала: «Какое?»—Это ужъ мое дѣло,—отвѣчала Анна Андреевна, и щеки ея покраснѣли. Вы должны сказать!—приставала барыня. Зло взяло Анну Андреевну, и она рѣзко отвѣчала: «Неужели вы думаете, что у меня есть что-нибудь худое до Зины Григорьевны?» Но въ это время барыню въ коричневомъ платьѣ позвали куда-то, и она ушла, а Анна Андреевна стала ходить по коридору, оттопыривая корсетъ, чтобы не измять шиньона.

Женщины въ бѣлыхъ передникахъ стали разносить по палатамъ въ оловянныхъ мискахъ кушанья. Запахло овсянкой, супомъ, говядиной. «Что это за женщины?»—думала Анна Андреевна, и ее удивило то, что она не видала мужской прислуги. Надзирательница не являлась долго, такъ что больные уже кончили обѣдъ. Тутъ Анна Андреевна замѣтила, что двѣ-три женщины поправляютъ на больныхъ одѣяла, складываютъ халаты; а одна даже провела куда-то подъ руки мужчину.

«Что же это такое? думала Анна Андреевна. У насъ, въ Егорьевскѣ, все мужчины водятся съ больными, а здѣсь ни одного солдата не видать. Неужели тутъ водятся женщины?» И у нея явилась мысль поступить на такую должность. «Ужъ если я не могу попасть въ институтъ, чтобы учиться повивальному ремеслу, то все равно, я и здѣсь могу зарабатывать хлѣбъ. А больныхъ и мертвыхъ я не боюсь». И ей сильно захотѣлось сдѣлаться такою же, какъ и эти женщины въ бѣлыхъ передникахъ. «Вонъ онѣ какія здоровыя», завидовала она. У нея щемило сердце при видѣ больныхъ, при взглядахъ на казенную больничную обстановку; ее манило вонъ на улицу... но мысль заняться чѣмъ-нибудь, удерживала ее здѣсь, и она думала: «я бы привыкла, ко всему бы привыкла, хоть бы къ мертвымъ». Между тѣмъ посѣтители уходили; на мѣсто ихъ приходили новые. Нѣсколько больныхъ уже спали. Вотъ одна женщина, лѣтъ 25-ти, въ бѣломъ передникѣ, встала у двери одной изъ палатъ и уперлась на дверь всѣмъ туловищемъ. Она зѣвала, Анна Андреевна подошла къ ней:

— Вы кто такія?—спросила она робко женщину.

— Мы-то? А мы сидѣлки. А что?

— Что же, у васъ мужчинъ-то развѣ нѣтъ?

Сидѣлка пристально посмотрѣла на Анну Андреевну. Казалось, сидѣлку удивилъ и выговоръ провинціалки и ея бѣдный костюмъ.

— У насъ все женщины, съ достоинствомъ проговорила сидѣлка и ушла, потому что въ комнатѣ кто-то проговорилъ охрипшимъ голосомъ: «пить».

Наконецъ, пришла и давно ожидаемая надзирательница, Зина Григорьевна Мокрякова. Она была одѣта въ коричневое платье; на плечахъ у нея была надѣта шаль, а на шеѣ болтался небольшой золотой крестъ. Она была уже немолода.

Робко подошла къ ней Анна Андреевна и, какъ наставлялъ ее парикмахеръ, шопотомъ сообщила ей о цѣли своего прихода.

— А! Хорошо! гдѣ онъ?—сказала надменно надзирательница, оглядывая Анну Андреевну.

— Я здѣсь не могу отдать, потому что хозяинъ велѣлъ секретно...

Надзирательница разсмѣялась и сказала:

— Не стану же я носить шиньоны: я уже старуха. Я заказывала для своей племянницы. И она пошла.

Когда онѣ дошли по коридору до такого мѣста, гдѣ было темно, то надзирательница потребовала шиньонъ.

— Не бойся, милая!.. Эдакой онъ трусъ?!.—и она захохотала.

Когда Анна Андреевна вытащила изъ-за корсета шиньонъ, то надзирательница вспылила.

— Ну, милая, я такого шиньона не возьму, онъ, Богъ знаетъ, гдѣ былъ.—Однако, шиньонъ взяла и стала вертѣть его въ рукахъ.

— И весь измятъ!.. Ну, да дѣлать нечего, кланяйся. А деньги я отдамъ послѣ, когда получу жалованье... Ты, какъ видно, не здѣшняя?—проговорила надзирательница ласково.

Такой ласковый вопросъ привелъ Анну Андреевну въ такое состояніе, что она совсѣмъ забыла о деньгахъ за шиньонъ; напротивъ, ей надзирательница показалась женщиной доброй, такой, которая, какъ будто, можетъ принять въ ея судьбѣ участіе, что отъ этой дамы съ крестомъ зависитъ вся ея судьба. Въ такомъ состояніи не одна Анна Андреевна находится; это все равно, что утопающій радъ и соломенкѣ, чтобы спастись.

— Да, я пріѣзжая... Мнѣ бы хотѣлось... въ сидѣлки...—проговорила она съ отчаяніемъ, чувствуя, что говоритъ это точно не она, а кто-то и что-то.

Надзирательница улыбнулась.

— Вы изъ какихъ?

— Да я изъ чиновническихъ.

— Ну, мы такихъ не принимаемъ. И надзирательница ушла въ палату.

Аннѣ Андреевнѣ ничего больше не оставалось, какъ итти домой. Дорогой она очень жалѣла, что она дочь чиновника.

Парикмахеръ не только не купилъ горячихъ сосисекъ, но съ досады сталъ гнать съ квартиры Анну Андреевну и не выгналъ только по просьбѣ своей жены.

Опять стала Анна Андреевна дѣлать шиньонъ, и работа ей казалась больше прежняго противною, потому-что желаніе поступить сидѣлкой въ больницу не давало ей покоя; даже ночью она бредила этой

должностью, и ей представлялось, что она уже сидѣлка, разноситъ по палатамъ оловянныя миски, булки въ корзинкахъ, у нея много денегъ, она сыта. Высказала она это желаніе Аннѣ Петровнѣ; та одобрила и даже обѣщалась похлопотать; но прошла недѣля, объ этомъ и разговаривать перестали.

Пошла сама Анна Андреевна по начальству больницы и, только послѣ недѣльнаго хожденія, едва-едва ее приняли въ сидѣлки, но сперва на испытаніе. Когда кончилось двухдневное испытаніе, ее назначили въ палату къ чахоточнымъ.

Итакъ, изъ барышни Анна Андреевна преобразилась въ сидѣлку. Теперь на ней было уже не шелковое или люстриновое платье, не круглая шляпка на головѣ; все это отъ нея отобрали и заперли въ цейхаузъ, а ей выдали синій сарафанъ и бѣлый передникъ съ клеймами, обозначающими больницу, и дозволили ей носить на головѣ сѣтку, а на ногахъ свои башмаки. Хотя ея сапожки были до того худы, что могли не сегодня-завтра развалиться, но на это начальство не обратило вниманія. Ей сказали, что она будетъ получать жалованіе въ мѣсяцъ пять руб. съ полтиной и будетъ ѣсть на свои деньги. Анна Андреевна была и этому рада; вѣдь ей въ Петербургѣ приходилось получать жалованіе въ первый разъ, и она будетъ имѣть, кромѣ теплаго помѣщенія, сонъ и отдыхъ послѣ дежурства.

Она поступила на дежурство во второмъ часу, вскорѣ послѣ обѣда больныхъ. При этомъ уходящая сидѣлка сказала ей:

— Смотрите, барышня, чтобы у васъ во всемъ былъ порядокъ. Вотъ тутъ въ диванѣ лежитъ чистое бѣлье; завтра утромъ не забудьте перемѣнить вотъ съ этихъ двухъ крайнихъ больныхъ, а тѣ четверо перемѣнили сегодня. Вы самая счастливая женщина, потому что вамъ дали такую, палату, гдѣ мало больныхъ. Смотрите, чтобы больные были хорошо одѣты, чтобы халаты лежали на мѣстахъ и были сложены аккуратно; чтобы туфли лежали у каждаго на своемъ мѣстѣ, чтобы больные плевали не на полъ, а въ плевальницы. Завтра я смѣню тебя — чтобы у меня все чисто было. И сидѣлка ушла.

Осталась Анна Андреевна въ палатѣ одна, съ больными, и ей почему-то страшно сдѣлалось. « Какъ же это я одна съ мужчинами? » Впрочемъ, она скоро успокоилась: всѣ шесть больныхъ или спятъ, или лежатъ съ открытыми глазами — кто навзничь, кто на боку. Лица у нихъ блѣдныя, щеки впалыя, глаза тусклые; всѣ они часто кашляютъ; а вонъ больной, что лежитъ недалеко отъ окна, даже и кашлять не можетъ, того и гляди, что умретъ. Обошла она больныхъ, поправила на нихъ отъ нечего дѣлать одѣяла и разбудила одного больного, который такъ долго сталъ кашлять, что дрожь стала пробирать Анну Андреевну.

— Вы бы воды выпили,—сказала она больному.

Но больной закашлялся пуще прежняго и только махнулъ рукой.

Сѣла она на небольшой диванчикъ; дѣлать нечего, скучно, часовъ въ палатѣ нѣтъ. Тяжело слушать кашли и стоны больныхъ. Такъ бы и вышла на улицу... Просидѣла она съ полчаса, запомнила лица больныхъ и стала смотрѣть на склянки, стоящія на столикахъ. Ей думалось, что она должна наблюдать, чтобы больные правильно принимали лѣкарство. Подошла къ одному столику. Двое больныхъ, лежащіе между столикомъ, не спали.

— Вы когда принимали лѣкарство? — спросила она больного, лежащаго направо и смотрѣвшаго на нее.

— Я не принималъ.

— Черезъ сколько времени велѣно принимать?

— Не знаю. Я ничего не знаю...

— Вы примите теперь.

— Не хочу, послѣ...

Подошла къ другому столику; больной, хотя и чахоточный, но притворился спящимъ, а третій дрожащими руками сталъ выливать лѣкарство въ плевальницу.

— Вы что же это дѣлаете? — спросила Анна Андреевна и подошла къ больному.

— А что?

— Зачѣмъ вы выливаете?

— А тебѣ какое дѣло?

— Вѣдь лѣкарства даются для выздоровленія.

— А мнѣ съ нихъ дѣлается все хуже и хуже.

Анна Андреевна не стала возражать, боясь разсердить больного.

Уже всѣ больные въ этой палатѣ не спали.

Одинъ даже сѣлъ и напяливалъ на голову кошель, называемый по больничному колпакомъ, и обертывалъ горло какою-то тряпкою, на ногахъ у него уже болтались туфли, имѣвшія видъ колодокъ, такъ какъ онѣ держались только на носкахъ, пятка же ничѣмъ не прикрывалась, отчего толстыя подошвы болтались.

— Ты чего тутъ съ лѣкарствами пристаешь: вѣдь лѣкарства принесутъ намъ послѣ чаю, — проговорилъ онъ сидѣлкѣ.

— Зачѣмъ же склянка-то тутъ?—спросила Анна Андреевна.

— А ты возьми да и спрячь.

Больной пошелъ, но онъ былъ такъ слабъ, что его пошатывало. Одна туфля соскочила съ ноги.

— Ишь проклятая! И къ чему такія даютъ— нельзя... Шлепъ, шлепъ... и онъ закашлялся.

Анна Андреевна подала ему туфлю. Скользятъ они по гладкому полу, никакъ не можетъ нога попасть въ нее. Анна Андреевна усадила больного и надѣла на его ногу туфлю.

— Вы слабы; не ходили бы,—сказала она больному.

— Я въ отхожее мѣсто. Проводи меня.

Щеки Анны Андреевны почему-то покраснѣли.

Но она видѣла, какъ сидѣлки часто путешествуютъ съ больными по палатамъ и по коридорамъ. Взяла она подъ руки больного и повела...

Когда она пришла съ больнымъ въ палату, тамъ прохаживалась какая-то молодая женщина съ смазливымъ лицомъ, съ кокетливыми манерами, державшая голову къ верху.

— Ты гдѣ была?—спросила она начальническимъ тономъ, голосомъ серебристымъ, но дрожащимъ, какъ будто отъ волненія, что она имѣетъ право распечь сидѣлку изъ чиновнаго сословія.

— Я больного водила, видите.

— Отчего у него постель измята? Что это за безпорядокъ такой?

— Я не успѣла еще поправить.

— Мало чего не успѣла. Исправь сейчасъ!

Больной легъ. Анна Андреевна стала исправлять постель. Кокетливая барынька постояла-постояла и ушла. А Анна Андреевна, сѣвши на диванъ, задумалась. «Какая она молодая и какъ командуетъ. Ужъ не племянница ли она разноглазой надзирательницы? И какая она важная!».

Пришла надзирательница, та самая, которой она приносила шиньонъ. Она на-ходу что-то вязала большими спицами. Окинувши взглядомъ комнату и сидѣлку, надзирательница проговорила:

— Чего же ты сидишь? Посмотри, сколько у тебя пыли на полу! Вонъ и туфли лежатъ не въ порядкѣ.

Проговоривши это, надзирательница ушла.

Въ палату вошла другая сидѣлка изъ другой палаты.

— Что, каково? распушила?—и она захохотала. Это еще ничего; а вотъ какъ начальница замѣтитъ —бѣда! Со свѣту сгонитъ.

— Это кто же молодая барыня?

— Что передъ этой приходила? А это хожалая. У насъ начальства много, сама увидишь.

Въ половинѣ пятаго сидѣлки засуетились. Вышла въ коридоръ и Анна Андреевна,—посмотрѣть, что тамъ за шумъ. Сидѣлки тащили внизъ большіе мѣдные кувшины, чайники и корзинки.

— Что же ты? Бери свой самоваръ! Иди за чаемъ!..—торопили Анну Андреевну сидѣлки. Лица у нихъ были веселыя; нѣкоторыя обтирали рты. У эконома толпилось до сорока сидѣлокъ съ чайниками; каждой изъ нихъ клали въ чайникъ полгорсточки чаю; спрашивали сколько больныхъ и давали на каждаго больного по небольшому куску сахара. Затѣмъ сидѣлки шли въ кухню, гдѣ изъ-за теплой воды и изъ-за порціи бѣлаго хлѣба къ чаю происходила драка. Нацѣдивши въ кувшинъ кипятку, Анна Андреевна, съ другими сидѣлками, поднялась наверхъ въ свою палату, заварила чай и разлила его въ шесть бѣлыхъ глиняныхъ стакановъ, которые стояли на столахъ около оловянныхъ кружекъ съ водой. Хотя чай и былъ жидкій и отъ него пахло скорѣе какими-то травами, однако четверо больныхъ съ аппетитомъ выпивали изъ своихъ кружекъ, закусывая бѣлымъ хлѣбомъ. Одинъ изъ остальныхъ больныхъ совсѣмъ отказался отъ чаю, другой вытащилъ изъ-подъ подушки свой чайникъ, чашку съ блюдечкомъ, бумагу и французскую трехкопеечную булку и попросилъ сидѣлку заварить ему его чаю.

Въ палату вошла сидѣлка изъ другой палаты, выпивая на-ходу изъ стакана чай и жуя булку.

— Ты что же не пьешь?—спросила она Анну Андреевну.

— Мнѣ не дали.

— Да вѣдь въ чайникѣ-то много чаю. Неужели у васъ всѣ пьютъ?

— Нѣтъ.

— Такъ отчего жъ не пьешь? На больныхъ полагается по два стакана, а кто не пьетъ—то сидѣлкина доля. Вѣдь намъ не даютъ пищи. Пей!

— Нехорошо.

— О, матушка! Небось, какъ подведетъ, разъ другой, животъ-то, не то запоешь.

Однако, Анна Андреевна не рѣшилась пить чай, назначенный для больныхъ. Она думала, что для больныхъ, можетъ-быть, назначается не настоящій чай, а какія-нибудь лѣкарственныя травы или чай, да какой-нибудь другой.—«Еще животъ, пожалуй, заболитъ. Богъ съ нимъ». И она оставила въ покоѣ стаканъ съ чаемъ у того больного, который не хотѣлъ или, скорѣе, не могъ пить. Оставшійся чай она вылила вонъ, а булки спрятала.

Вскорѣ послѣ чая пришелъ въ палату фельдшеръ съ склянками. Разставляя по столамъ склянки, онъ говорилъ Аннѣ Андреевнѣ:

— Этому больному черезъ часъ по ложкѣ, этому черезъ два часа, этому черезъ три часа.

— По какой ложкѣ: столовой или чайной?—спросила Анна Андреевна.

— Разумѣется, по столовой.

— Да тутъ нѣтъ ни одной ложки?

— Мнѣ что за дѣло!

И фельдшеръ ушелъ.

Пришла помощница надзирательницы, толстая, рябая женщина съ ястребиными глазами.—Осмотрѣвъ комнату, она вдругъ накинулась на сидѣлку.

— Это для чего тутъ чай?

— Я налила; можетъ, и выпьютъ.

— Убирай! Эдакое вѣдь безобразіе! Ну, какъ начальница войдетъ?

Анна Андреевна взяла стаканъ и спросила помощницу насчетъ ложекъ.

— Эдакая ты дура, прости меня Господи! Ложки всегда должны быть на столахъ... Ахъ ты, Господи. Неравно начальница придетъ, а у нея и ложекъ нѣтъ. Гдѣ ложки?

— Я не знаю. Мнѣ не передавали.

Ложки оказались въ диванѣ, вмѣстѣ съ бѣльемъ.

Въ шесть часовъ раздался звонокъ. Опять засуетились сидѣлки, забѣгали по коридорамъ съ корзинками, въ посудой. Но какъ замѣтила Анна Андреевна, всѣ онѣ суетились для себя, а не для больныхъ, потому-что каждой хотѣлось ѣсть, а теперь давали только кашу, которую больные не очень-то долюбливали. Въ кухнѣ происходила драка: каждой сидѣлкѣ хотѣлось получить больше каши въ каждую чашку, каждая просила больше хлѣба, ругала поваровъ и служителей; нѣкоторыя даже выхватывали чашки изъ рукъ другихъ и незамѣтно уходили. Повара и служителя ругались и тузили сидѣлокъ, по чему попало, говоря: обжоры проклятыя! Знаемъ мы, сколько съѣдаютъ больные. И къ чему это начальство балуетъ васъ? Кабы у казны не было лишнихъ денегъ, пишь бы мы вамъ по-

казали. Аннѣ Андреевнѣ пришлось получить последней.

— Вся вышла! Ты изъ какой палаты?

Анна Андреевна сказала.

— Ну, тѣ жрать не станутъ. А ты, видно, новая? Ищь какая лебеда! Ну, да ужъ на тебѣ поскребушки. И ей наклали каши въ двѣ чашки.

Ни одинъ больной изъ ея палаты не сталъ ѣсть каши. Голодъ ее мучилъ, и она, сѣвши на полъ для того, чтобы ея не замѣтили больные, стала кушать порціи больныхъ.

Послѣ ужина и мытья посуды, въ больницѣ настала тишина, прерываемая кашлемъ больныхъ и отпыхиваніемъ сидѣлокъ отъ сытной пищи.

Пришелъ главный докторъ въ сопровожденіи дежурнаго доктора и надзирательницы.

Главный докторъ подошелъ къ среднему больному.

— Какъ ты себя чувствуешь?—спросилъ онъ больного.

— Ничего,—отвѣтилъ больной.

— Ѣлъ онъ сегодня?—спросилъ главный докторъ сидѣлку.

— Плохо-съ,—отвѣтила за сидѣлку надзирательница.

Главный докторъ пощупалъ пульсъ у лѣвой руки больного, приложилъ руку къ его лбу, посмотрѣлъ на дощечку, на которой написано званіе, имя и болѣзнь, посмотрѣлъ на другихъ больныхъ и ушелъ.

Черезъ полчаса стало тихо. Въ коридорахъ и палатахъ зажгли газъ.

Немногіе больные спятъ; большинство или ворочаются съ боку-на-бокъ или, лежа на спинахъ, смотрятъ въ потолокъ или на рожокъ съ горящимъ газомъ. Аннѣ Андреевнѣ хочется спать, но она боится спать. Однако, сонъ клонитъ, и она прилегла на коротенькомъ диванчикѣ, подперши голову правой рукой, и задумалась. «Вотъ и трудъ. Ничего тутъ нѣтъ тяжелаго, а только надо, чтобы вездѣ было чисто, гладко, хорошо для начальническихъ глазъ. Больные—люди смирные, вотъ только начальства ужъ очень много, каждая женщина важничаетъ надъ тобой, и каждая выслуживается и заискиваетъ у старшей. А все-же лучше, чѣмъ я безъ мѣста и безъ куска хлѣба была. Оно, хотя это и не свой хлѣбъ, а больныхъ, все-таки я въ теплѣ живу, и мое платье не рвется».

Утѣшая себя такими словами, она начала засыпать.

— Дайте воды! воды дайте! Сидѣлка?..—проговорилъ одинъ изъ больныхъ фистулой.

Анна Андреевна вскочила; дала больному напиться. На столѣ она замѣтила склянку съ лѣкарствомъ и струсила. Она забыла наставленіе фельдшера: кому черезъ какое время давать лѣкарства.

— Дамъ лучше всѣмъ заразъ, а потомъ посмотрю на часы и буду аккуратно давать—этому черезъ часъ, этому черезъ два...

И она налила въ ложку лѣкарства.

— Примите,—сказала она больному.

— Я уже принялъ.

— Но я не видала.

— Мнѣ все равно.

Больной выпилъ.

Подошла къ другому больному:—спитъ. Третій больной ни за что не согласился выпить лѣкарства, которое и пришлось вылить назадъ.

Прошла Анна Андреевна по коридору; изо всѣхъ палатъ двери отворены; въ коридорѣ нѣтъ никого; холодно; въ палатахъ спятъ сидя сидѣлки, больные кашляютъ. Взглянула на часы—десять часовъ. Опять она прилегла на свой диванчикъ; не спится. То-и-дѣло слышатся кашли на всевозможные манеры—поодиночкѣ и хоромъ; такъ и кажется, что или гдѣ-то камень обтесываютъ, или стучатъ по скалѣ въ пустомъ мѣстѣ. Мало этого, кто-то гдѣ-то застоналъ довольно протяжно; кто-то крикнулъ октавой «что стонешь, дьяволъ!» И слышитъ она, что въ этой палатѣ кто-то разговариваетъ. Привстала. Сосѣдъ больного, лежащаго ближе къ окну и отказавшагося отъ чая и каши, говоритъ:

— Нѣтъ... однако. Вы бы исповѣдовались, причастились—все-же лучше. Неровенъ часъ...

— Я выздоровѣю, хрипитъ больной, ничего не ѣвшій.

— Да вѣдь даромъ.

— Не хочу... Я выздоровѣю. Сидѣлка... Поверни меня.

— Сидѣлка! поворoти его на другой бокъ,—говоритъ сосѣдъ сидѣлкѣ и самъ переворачивается на правый бокъ.

Когда Анна Андреевна подошла къ этому больному, онъ лежалъ съ закрытыми глазами.

Лицо его походило скорѣй на мертвеца, чѣмъ на человѣка.

— Позвольте, я васъ поверну,—сказала она ему.

Больной открылъ глаза и зашевелилъ руками.

— Посмотри, тутъ ли ключи?—сказалъ шопотомъ больной, кивая едва-едва головой на правую сторону.

Анна Андреевна не поняла; больной смотрѣлъ на нее пристально.

— Оксинья гдѣ?—спросилъ онъ съ большимъ усиліемъ охрипшимъ голосомъ.

— Я ее смѣнила.

— Скажи Оксиньѣ, чтобы она... сходила въ пассажъ... Она знаетъ... Мнѣ нужно сладкаго... и онъ закрылъ глаза.

— Не трожь его! Кончается—проговорилъ больной съ третьей кровати.

Анна Андреевна боязливо поправила на больномъ одѣяло; робко взглянула она на его лицо, и оно такъ страшно показалось ей, что она вздрогнула и отошла прочь. Когда она сѣла на диванчикъ и закрыла глаза, то лицо больного опять представилось ей. «Господи! какъ да онъ помретъ!»—подумала она и вздрогнула. Прежде она мало видала покойниковъ, а если и видала, то закрытыхъ парчей, и ей не приходилось находиться долго въ одной комнатѣ съ покойникомъ, а теперь должна она находиться въ одной комнатѣ, поневолѣ взглядывать на лицо. Словомъ, она еще не отрѣшилась отъ всѣхъ суевѣрій и молила Бога, чтобы Онъ

продлилъ жизнь больного на все время ея дежурства. «Если онъ умретъ на моемъ первомъ дежурствѣ—это худой признакъ»,—думала она.

А больные все кашляли да кашляли, даже ожесточеннѣе прежняго; казалось, кашляли тысяча человѣкъ. И все-таки подъ эту музыку она заснула, но спала такъ безпокойно, что просыпалась черезъ каждыя восемь-десять минутъ: ей представлялись то покойники, то какія-то безобразныя страшныя лица въ огромныхъ колпакахъ, то какой-то грозный кулакъ съ неопредѣленнымъ количествомъ пальцевъ и т. п; только къ утру она заснула спокойнѣе.

Раздался звонокъ. Она вскочила, ей представилось, не горитъ ли отцовскій домъ въ Ильинскѣ, но, осмотрѣвшись, она поняла, что это повѣстка итти за чаемъ.

Опять та же исторія, что и вечеромъ; только теперь, спросонокъ, сидѣлки ругались больше прежняго, и въ кухнѣ Аннѣ Андреевнѣ пришлось получить нѣсколько тычковъ въ бока и въ спину, и нѣсколько сидѣлокъ прошлись насчетъ ея чиновническаго происхожденія. Получила она шесть кусковъ булокъ, шесть кусковъ сахара и чаю; больной, пившій свой чай, послалъ дѣвочку за булками, а казенную булку отдалъ Аннѣ Андреевнѣ. Больной, требовавшій Оксинью, повидимому, спалъ, почему Анна Андреевна не налила ему чаю.

— Ну, барышня, принимайтесь-ка полъ мыть.

Мы каждое утро моемъ въ палатахъ полы, потому велятъ,—проговорила ей толстая сидѣлка въ дверяхъ, держа въ рукѣ ушатъ съ теплой водой.

— Вы мнѣ дадите ведро?

— Сами можете достать... А вы, барышня, умѣете ли полы-то мыть? Сколько дадите,—я за васъ вымою и вытру.

— Я сама...

— Смотрите, устанете; надзирательница намылитъ голову-то.

Обидно сдѣлалось Аннѣ Андреевнѣ. «И зачѣмъ это онѣ издѣваются надо мной? Что я имъ такое сдѣлала? А не поддамся же я имъ!»

Въ полчаса она вымыла тряпкой съ водой и вытерла шваброй полъ; нѣсколько сидѣлокъ, стоя въ дверяхъ, хихикали и поддразнивали ее, а одна говорила:

— Экія нонѣ времена, подумаешь: чиновницы пошли въ сидѣлки!

— Что и говорить! Все-же лучше, чѣмъ по Невскому шататься,—замѣтила другая.

Съ этого времени сидѣлки сдѣлались ласковѣе съ Анной Андреевной, и только которая-нибудь изъ нихъ встрѣтитъ ее въ коридорѣ и начинаетъ спрашивать: отчего она нейдетъ шить куда-нибудь въ магазинъ?

Пришелъ въ палату священникъ.

— Не желаетъ ли кто исповѣдаться и причаститься?—спросилъ онъ смиренно.

Ни одинъ больной не откликнулся.

— Не желаютъ?.. Жалѣю... Вотъ одинъ изъ сосѣдней палаты умеръ сегодня безъ покаянія.

— Мы не умремъ,—сказалъ одинъ изъ больныхъ и повернулся на другой бокъ.

Священникъ ушелъ.

Опять стало появляться начальство: пришла хожалая, посмотрѣла на полъ, на больныхъ и ушла. Стала Анна Андреевна перемѣнять съ больныхъ бѣлье, больной, требовавшій вчера Оксинью, не дышалъ. Вышелъ переполохъ: прибѣжала помощница.

— Когда померъ?

— Не знаю.

— Какъ же ты не знаешь? На то ты и сидѣлка? Ты, вѣрно, спала?

— Нѣтъ.

— Онъ недавно шевелился,—проговорилъ сосѣдъ умершаго и этимъ выручилъ Анну Андреевну изъ бѣды.

Мало-по-малу въ палату набралось много народу: хожалая, надзирательница, помощница ея, фельдшеръ, дежурный докторъ и носильщики были тутъ. Покойника унесли; унесли также и тюфякъ, на мѣсто котораго положили другой.

Въ восьмомъ часу пришелъ фельдшеръ, осмотрѣлъ листки о ходѣ болѣзней и ушелъ.

— Все ли у тебя въ исправности?—спросила помощница Анну Андреевну.

— Все.

— То-то. Сейчасъ докторъ придетъ. Посмотри, какъ тотъ больной скрючился, уложи его хорошенько, на бокъ, что ли, да смотри, чтобы всѣ лежали какъ одинъ, и чтобы одѣяла на нихъ были въ порядкѣ.

По коридору началась бѣготня сидѣлокъ и топотня фельдшеровъ.

— Ты что же листки-то не сняла?—крикнула на Анну Андреевну вошедшая помощница.

— Какіе листки?

— А вотъ эти!—и помощница, подошедши къ кровати крайняго больного, вытащила изъ-за дощечки листокъ и положила его въ ноги больному.

— Всѣ вынь и положь на ноги каждаго больного. Не станетъ же докторъ самъ вынимать. Ахъ, Боже мой, какая ты неряха: посмотри, у того больного мимо плевательницы плюнуто. Подотри! Нѣтъ, ты не годишься въ сидѣлки!

Пока Анна Андреевна вытирала полъ, помощница читала ей нотацію.

Пришелъ докторъ. Сидѣлка сосѣдней палаты, откуда шла визитація, передала Аннѣ Андреевнѣ чернильницу съ перомъ.

— Какъ вы себя чувствуете?—спрашиваетъ докторъ больного и беретъ листокъ.

— Плохо. Курить хочется,—отвѣчаетъ больной.

— Ну, у насъ курить нельзя. А вы бы ходили больше.

— Не могу съ мѣста встать.

— Принимали лѣкарство?

— Да.

— Давали, какъ сказано,—отвѣчаетъ надзирательница.

Докторъ вынимаетъ изъ бокового кармана сюртука самую маленькую книжечку, которая вся умѣ-

щается на ладони, незамѣтно для больного перебираетъ листки въ ней, роется, жметъ губами и пишетъ въ листкѣ; потомъ идетъ къ другому больному и, заглядываясь на Анну Андреевну, что-то спрашиваетъ у надзирательницы и опять взглядываетъ на сидѣлку очень нѣжно.

Послѣ визитаціи доктора приходитъ фельдшеръ, смотритъ листки, и если въ которомъ назначены лѣкарства,—уноситъ. За нимъ приходитъ служитель отъ эконома и тоже уноситъ листки.

Десятый часъ. Больница оживилась; въ коридорахъ и палатахъ говоръ такой, что слышится только самый громкій кашель.

— Главный докторъ!—проносится по коридорамъ и палатамъ.

— Чортъ бы ихъ подралъ: покою не даютъ!—ворчитъ средній больной въ этой палатѣ и кашляетъ.

— Я, ей-Богу, выпишусь! — говоритъ больной, не могшій встать. Вотъ только бы ноги окрѣпли.

Но главный докторъ въ эту палату не зашелъ.

— Слава Богу, провалились!—говоритъ вошедшая въ эту палату сидѣлка.—Ну что, ничего? отдѣлалась?—спрашиваетъ она Анну Андреевну.

— Ничего. Только вотъ померъ одинъ.

— Ну, это не бѣда. А вотъ скверно, какъ къ горячешнымъ назначатъ—смучишься.

Время до обѣда тянулось вяло, но надзирательницы постарались занять сидѣлокъ: онѣ надавали имъ тряпокъ, чтобы выдергивать нитки на корпіи. Такъ и Аннѣ Андреевнѣ досталось порядочное количество тряпокъ.

— Ты не тереби! Дунька толстопятая придетъ, вытеребитъ, совѣтовала ей сидѣлка изъ сосѣдней палаты.

— Скучно.

— А ты лучше чулокъ вяжи. Онѣ вѣдь намъ за это не платятъ. Не хочешь ли, я дамъ тебѣ чулокъ надвязать?

— А корпія?

— Брось!

Но пришла помощница и прогнала изъ палаты сидѣлку.

Послѣ обѣда Анну Андреевну смѣнила другая женщина. Сдавши казенную одежду, Анна Андреевна нарядилась въ свой костюмъ, и такъ онъ ей сдѣлался противенъ, что она рѣшила сегодня же обмѣнять шелковое платье на ситцевое, и шляпку на платокъ; но когда она шла по коридору, ей навстрѣчу попалась начальница въ сопровожденіи разноглазой надзирательницы.

— Я слышала, что вы неисправно исполняете свое дѣло, поэтому совѣтую вамъ искать другое мѣсто,—сказала она Аннѣ Андреевнѣ и скрылась въ палатѣ.

Анна Андреевна постояла нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ и пошла. Выйдя на улицу, она опять остановилась: «Куда итти?» Слезы брызнули изъ глазъ; а народъ идетъ и идетъ; на улицѣ трескъ, пыль; солнце жжетъ. Хочется ѣсть, пить. И она пошла машинально по направленію къ квартирѣ парикмахера.

Осиновцы.

(Этнографическій очеркъ).

I.

Запрудная сторона.

Осиновскій желѣзно-мѣдный заводъ принадлежитъ наслѣдникамъ одного богатаго барина, который разбогатѣлъ сначала неизвѣстно какимъ манеромъ, потомъ отъ осиновцевъ, а потомъ отъ другихъ заводовъ, которые управляются въ Осиновскомъ заводѣ. Этотъ заводъ богатый: въ немъ вырабатывается много желѣза и мѣди, выдѣлываются разныя стальныя вещи, и онъ люднѣе прочихъ заводовъ; домовъ много, изъ нихъ много красивыхъ, и обитатели считаются за людей не бѣдныхъ. Еще не доѣзжая до завода большой дорогой, верстъ за шесть, съ горы виднѣется налѣво, сквозь лѣсъ, синяя полоса Осиновскаго озера, называемаго по-заводски осиновскимъ прудомъ. Лишь только въѣдешь на заводъ, тотчасъ же обдастъ тебя заводскимъ запахомъ и тотчасъ же скажешь: вотъ это ужъ заводъ, а не городъ. Хорошаго впечатлѣнія поначалу заводъ не произведетъ: это не то деревня, не то село, не то старенькій, бѣдный городишко съ узкой кривой улицей, съ выдающимися впередъ и вдающимися внутрь домами, частію старыми, частію только-что строющимися. Съ самаго начала, при въѣздѣ, по обѣимъ сторонамъ дороги поле, недавно расчищенное отъ лѣса для новыхъ построекъ; торчатъ тамъ и сямъ колья и колышки, вѣроятно, обозначающіе собственность участка какого-нибудь семьянина, разныя постройки безъ огородовъ, безъ крышъ, съ прорубленными до половины окнами, бревна и кое-гдѣ загородки.

Такъ вотъ и кажется, что осиновцамъ тѣсно стало жить; дали имъ разрѣшеніе строиться за заводомъ, они и напали на землю; всякій взялъ, сколько ему надо, поскорѣе, заявилъ свои права раньше всѣхъ тѣмъ, что навозилъ бревенъ или сдѣлалъ частичку плетня—и будетъ: домъ можно состроить хоть когда. Видно поэтому, что въ постройкѣ большой нужды не предстоитъ; а осиновцы говорятъ, что имъ жить стало тѣсно; отцы имѣютъ свои дома; не имѣютъ своихъ домовъ нѣсколько холостыхъ людей, напримѣръ, братья, сыновья и сестры, которые пока живутъ въ семействѣ. Тѣ, которые хотятъ скорѣе жить въ своемъ домѣ съ женой и дѣтьми, стараются скорѣе окончить постройку, а которыхъ не гонитъ женатый братъ, дядя, отецъ, у которыхъ хорошо жить, не шевелятся строить и если строятъ, то спустя рукава. Заставы въ заводѣ нѣтъ, да и не къ чему, потому-что новыя постройки идутъ по направленію дороги, вѣроятно, потому, что тутъ мѣстность покатистая и съ нея виденъ чуть не весь заводъ; направо строиться не хотятъ: говорятъ, ходить на работы далеко, а строятся больше налѣво, по дорогѣ и къ озеру. А кромѣ этого мѣста строиться негдѣ: впереди за заводомъ гора, а влѣво за озе-

ромъ—старозаводская слобода съ старозаводчанами, которые осиновцевъ не пускаютъ строиться ни къ горѣ, ни вдоль по озеру. На новомъ мѣстѣ пока еще улицъ не налажено, и постройки сдѣланы, какъ понравилось сдѣлать ихъ владѣльцамъ, лишь бы ловко жить, да было тепло; и надо полагать, что такъ же точно строился заводъ, такой же точно онъ имѣлъ видъ прежде, до тѣхъ поръ, пока дома не стянулись заплотами съ воротами, не сплотились крытыми дворами и не почернѣли отъ времени. Оно и замѣтно: чѣмъ дальше подвигаешься по улицѣ, называемой здѣсь стороной, внутрь завода, тѣмъ дома чернѣе, тѣснѣе, старѣе; кое-гдѣ развѣ стоитъ недавно отстроенный домъ. Сначала людей какъ будто не видать, а развѣ увидишь кошку на крышѣ, собаку, любезно откусившую хвостъ или ухо своей подругѣ, или корову, помахивающую грязнымъ хвостомъ и съ удовольствіемъ и наслажденіемъ чешущую свою шею о бревенчатый уголъ какого-нибудь углового дома. Сначала встрѣчаются неправильные, узкіе переулки, кончающіеся близко у какого-нибудь дома, лога или заплота, и то рѣдко, а потомъ переулки эти идутъ все дальше и дальше, хотя узки и кривы и такъ грязны, что нужно посмотрѣть, какъ ходятъ. Вонъ идетъ какая-то женщина, заткнувши обѣ полы рубахи и платья за поясъ очень высоко, съ голыми ногами. Она ведетъ на веревкѣ корову, которую за хвостъ держитъ маленькая дѣвочка въ грязной рубашонкѣ, съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами. Эти три души идутъ сначала посрединѣ дороги; ноги хотя и не тонутъ по колѣна, а вязнутъ въ грязи. Женщина видимо сердится, и сердится вслухъ.

— Чортъ эта грязь, будь она проклята! Она взглянула на ноги: ишь что! Цѣлый пудъ нависло... Уй!—и она дернула корову очень недружелюбно. Она пошла возлѣ тына и стала одной рукой держаться за колья, а ноги ступали по обвалу, на которомъ тоже не было сухого мѣста и съ котораго ноги катывались...

Женщина рѣшила лучше итти по дорогѣ и уже не выбирала сухихъ мѣстъ, а ступала прямо и въ лужи, и въ глубокую грязь. Въ переулокъ въѣхалъ мужчина на телѣгѣ.

— Э-э!—сказалъ онъ и захохоталъ.

— Чего хохочешь? Хорошо въ телѣгѣ-то.

— Ничего. Вишь грязно.

— Небось, будетъ грязно. Вонъ корову-то у Подосенова нашла. Будетъ грязно!

— Я что ли виноватъ?

— Конечно. Вотъ лошадь-то вязнетъ!

— Дойдетъ. Дѣло есть, и здѣсь проѣдемъ, значитъ, нужно...

Чѣмъ дальше, тѣмъ улица становится шире, люднѣе. Здѣсь дома очень тѣсно сплотились другъ къ дружкѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они даже двухъэтажные съ раскрашенными ставнями оконъ и воротами; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ принимаютъ видъ чисто-горнозаводскій съ дощечками надъ воротами, означающими хозяина дома и дощечками надъ окнами, означающими цифру года (т. е. время постройки дома); переулки длиннѣе, шире, чище и называются уже улицами и уже имѣютъ свои переулки. Ближе къ серединѣ завода дома красивѣе: здѣсь есть и каменные дома, двѣ церкви, одна православная, другая единовѣрческая, двѣ часовни. Вотъ и середина завода. Налѣво господскій домъ, огромный каменный, съ каменными же флигелями, съ садомъ, выходящимъ на озеро, на которомъ, противъ сада, стоитъ раскрашенная господская купальня; противъ господскаго дома—площадь съ соборомъ, вокругъ котораго разведенъ садъ, и сдѣлана красивая чугунная рѣшётка. Эта сторона называется господской. На полверсты она застроена красивыми каменными домами и принимаетъ видъ чисто-городской.

Недалеко отъ нея, за церковью, рынокъ, съ лавками и гостинымъ дворомъ, въ которомъ хотя и нѣтъ достаточнаго количества дорогихъ вещей, и заводскія власти дорогими матеріями запасаются въ большихъ городахъ, но для осиновцевъ найдется всего понемножку, и въ этомъ отношеніи осиновскій гостиный дворъ можетъ соперничать съ двумя сосѣдними уѣздными городами. Самая улица, хотя и немощеная, но довольно чистая; она старательно посыпается хрящомъ и шлакомъ заводской полиціей. Эта-то полиція, по приказанію своего начальства, не дозволяетъ прогуливаться по ней коровамъ и прочимъ четвероногимъ животнымъ, кромѣ собакъ, и гуляющихъ животныхъ безцеремонно загаиваютъ въ часть, откуда ихъ выкупаютъ плачущія и оскорбленныя осиновскія женщины. На этой улицѣ, около хорошихъ домовъ, есть каменные и деревянные тротуары и около десятка фонарей, которые хотя и не всегда зажигаются, но все-таки не безобразятъ улицы.

Здѣсь живетъ высшее управленіе завода, и отсюда это управленіе правитъ надъ другими мелкими заводами: есть главная контора, полиція съ каланчой и вѣчно наблюдающими на ней за всѣмъ заводомъ мастеровыми; живетъ управляющій заводами, исправникъ, протопопъ, приказчики, смотрители, нарядчики, уставщики и прочіе подначальные должностные люди, находящіеся въ подчиненіи другъ другу и правящіе остальными осиновцами.

Недавно всѣ эти должностные люди, кромѣ исправника, его письмоводителя, духовнаго сословія и горныхъ инженеровъ, принадлежали одному управляющему заводами, потому-что сами господа владѣльцы давнымъ-давно когда-то были въ заводѣ, и ихъ помнятъ только старожилы, теперь же всѣ знаютъ только управляющаго, который, хотя и заводскій человѣкъ, но представляетъ собою господъ. Осиновцы почти-что позабыли своихъ господъ и всегда съ своими нуждами идутъ по начальству и только въ рѣдкихъ случаяхъ идутъ къ управляющему, который для нихъ все равно, что губернаторъ; владѣльцы же для нихъ были все равно, что божество; и если бы привелось пріѣхать въ заводъ самому владѣльцу, то они, хотя бы и пошли смотрѣть на него изъ любопытства, но отнеслись бы къ нему такъ же, какъ относились и къ важному постороннему человѣку, исключая развѣ главнаго начальника, который всегда былъ пугаломъ для осиновцевъ.

II.

Встрѣчные и поперечные.

У воротъ господскаго дома стоитъ будка.

Въ будкѣ сидитъ часовой-осиновецъ и отъ нечего дѣлать клюётъ, т. е. дремлетъ. По дорогѣ везутъ уголь; поровнялись съ церковью, проѣхали. Шедшіе мимо церкви перекрестились и, тряхнувъ головами послѣ поклона на церковь, надѣли шапки.

— Гаврилко! снимай горшокъ-то? — сказалъ средній возчикъ переднему.

— Почто?

— А по то! Лупку что ли захотѣлъ?

— Не сниму,—не слѣдъ.

Передній возчикъ остановилъ лошадь.

— Здорово, Филипычъ?—закричалъ онъ караульному.

— Здорово!—послышалось отъ Филипыча. Онъ поправилъ шапку, вышелъ изъ будки, подошолъ къ возчикамъ и сказалъ:

— Прохорова видѣли?

— Видѣли. На Культы поѣхалъ.

— То-то... Нарядили.

— Слышь ты! Добро бы кое-что важное сдѣлалъ, а то Селифонтьеву въ рожу плюнулъ. Кхе!..— и говорившій отплюнулъ.

— А ты чего тутъ сидишь?

— Чего сижу?.. Посадятъ тебя—и сиди.

— Я бы ушолъ.

— Уди!? Приставили вотъ теперь—и сиди. Очередь, значитъ. А чего сидѣть-то?

— А ты много-то не разговаривай: поди, въ окошки-то слышно.

— Ну, что-что слышно. Выдерутъ,—эка бѣда!

— На работу приставятъ; провьянтомъ обидятъ.

— Начальство слушай, значитъ!

Передній захохоталъ во все горло.

— Чего слушай! Слушали...

— Смотри, обочтешься.

— Ну!.. А ты какъ увидишь самого-то, скажи: я, молъ, кланяюсь... кликалъ, молъ, тебя, да въ горлѣ засохло.

Возчики захохотали.

— Чему радъ, еловы бока?

— А вамъ что? Что прячешься: отвѣчать, такъ всѣмъ отвѣчать; да еще было бы за что.

— Знай нашихъ!.. Знашь старослободскихъ?

Караульному, какъ видно, очень захотѣлось пристать къ нимъ.

— Мнѣ, братцы, домой хочется.

— А что?

— Да то, хочется. Чего тутъ сидѣть-то? Сталъ было башмакъ Танькинъ чинить, да Петрушка лакей пришолъ, обругалъ, управляющему сказалъ...

Надо замѣтить, что мастеровые и рабочіе горныхъ заводовъ вмѣсто ц произносятъ с, вмѣсто ч—щ, въ нѣкоторыхъ глаголахъ, кончающихся на ся,—са, въ повелительномъ наклоненіи вмѣсто ѣ—и, і, и пр.

— Ну?

— Онъ и говоритъ: какъ ты смѣешь работать?... Ты, говоритъ, зачѣмъ тутотка приставленъ?

— Ну?

— Я и говорю: скучно безъ дѣла-то... Ну, онъ и велѣлъ сводить въ полицу, двадцать пять дали.

Возчики задумались. Около нихъ собралась толпа мужиковъ и женщинъ.

— Эко наказанье!

— Выручать надо.

— Что выручать!—галдѣли возчики.

— Такъ вамъ и надо, потому, значитъ, зазнались больно,—заговорилъ одинъ изъ глазѣющихъ.

— Ты молчи, песъ, въ наши дѣла не суйся, мы свои дѣла знаемъ сами, какъ дѣлать.

— А зачѣмъ вы здѣсь ѣздите?

— А гдѣ по-твоему?

— Мы по вашимъ улицамъ не ѣздимъ!

— А это что? И возчикъ указалъ на воза съ углемъ.

— Своей дорогой и вози.

— Ребя! коли такъ, мы вотъ какъ!—и возчикъ опрокинулъ коробку съ углемъ на дорогу. То же сдѣлали и другіе. Сваливши уголь, они поѣхали.

— Видѣли?

— Теперь, ребя, не говори съ нимъ. Поѣдемъ!

Стоявшіе не удивлялись этому, а злобно переговаривались.

— Надо въ полицу!

— Мы свидѣтели.

— Вонъ и ихной свидѣтель!—указалъ одинъ на караульнаго.

— А меня съ чего? Я не видалъ. И караульный сѣлъ въ будку.

— Ну, отговаривайся.

По улицѣ шолъ казакъ. Его остановили. Стали ему говорить, кто во что гораздъ. Изъ караульной вышелъ Филипповъ и сказалъ казаку:

— Послушай, братъ, они уголь на дорогу свалили. Я говорилъ, что нельзя здѣсь уголья сваливать, а они взяли да и свалили.

— Вишь ты! Это все Гаврилко ихной.

— А гдѣ лошади?—спросилъ казакъ.

— Лошадей угнали домой, а сами, вишь, стоятъ да на слободчанъ сваливаютъ,—сказалъ караульный.

— Какъ такъ?

— Веди его въ полицу. Онъ вретъ.

— Ну-ка, тронь! Я къ начальству приставленъ, я самому пожалуюсь.

— Чортъ васъ разберетъ! Вы свалили, вы и везите на фабрику.

— Не мы свалили, старослободскіе.

— Какъ это вамъ, братцы, ссориться хочется?... Вы знаете Гаврилку? Ну, зачѣмъ связываться?

— А ты туда жъ!.. Взятку взялъ съ нихъ!

— Дома управляющій?

— Уѣхалъ въ городъ.

— Вамъ говорятъ, чтобы уголья свезти на фабрику!.. Слышите?

— А чей нарядъ-то былъ?

— Все одно... Не валяться же имъ тутъ. Я вотъ перепишу васъ всѣхъ...

*

— Айда къ Марку Петровичу.

Толпа пошла къ дому приказчика.

Теперь пойдемъ въ Старозаводскую слободу.

III.

Старозаводская слобода.

Старозаводчане поѣхали въ свою слободу.

Сначала они проѣхали плотину, по правой сторонѣ которой построенъ самый заводъ, т.-е. фабрика съ огромными корпусами; налѣво озеро, которое по-заводски названо прудомъ, потому-что оно запружено плотиной, черезъ которую и черезъ фабрику выходитъ небольшая рѣчка, отъ дѣйствія плотины обращающаяся, когда нужно, въ большую рѣку, такъ что по ней сплавляютъ металлы въ другую рѣку. За плотиной начинается самая мрачная во всемъ осиновскомъ заводѣ и пугало для осиновцевъ старозаводская слобода. Если встать посерединѣ плотины, то съ перваго раза бросается въ глаза различіе двухъ приозерныхъ сторонъ, исключая третьей, фабричной и четвертой, впереди которой, далеко за озеромъ, виднѣется лѣсъ. На лѣвой сторонѣ у берега сады и надъ ними высятся то каменные дома, то крашеныя и новенькія крыши, или виднѣются красивенькіе домики съ бесѣдками въ огородахъ, лодки и даже одинъ пароходъ у заводскаго сада, выходящаго на озеро. На правой сторонѣ бросается въ глаза черная масса, какъ будто кое-какъ разбросанныхъ домовъ, маленькихъ, ветхихъ, и вы кое-гдѣ увидите выглядывающее изъ-за домовъ и амбаровъ окошко, окрашенное мѣломъ, и въ немъ черную бороду мужчины. А ночью, съ этой стороны вы не увидите ни одной свѣтлой точки или огонька, тогда какъ съ лѣвой стороны всегда до полночи мелькаетъ огонекъ, если не вездѣ, то непремѣнно въ двадцати мѣстахъ. Приближаясь ближе къ этой слободѣ, вы увидите гряды съ капустой и прочими овощами кое-гдѣ огороженныя тыномъ, потомъ маленькія, черненькія, безъ крышъ и предбанниковъ, баньки, около которыхъ днемъ нерѣдкость увидать нагого мужчину, сидящаго на кукоркахъ съ краснымъ тѣломъ, и поглаживающаго бороду, и того же мужчину, бѣгущаго прямо изъ бани въ озеро: потомъ службы безъ оконъ, только съ отверстіями для входа внутрь. Говорятъ, что былъ приказъ старозаводчанамъ, чтобы они дома перенесли къ озеру, а огороды сдѣлали на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь дома, но они настояли на своемъ: «дома строили отцы наши, а не вы; строились и ладились давно, и намъ тогда никто не препятствовалъ... Если вы и денегъ намъ дадите, и тутъ не сживете насъ съ своего мѣста... А зачѣмъ и у васъ, на запрудской сторонѣ, дома такъ строены, зачѣмъ огороды такъ лажены? Зачѣмъ ваши отъ нашихъ переняли купаться въ пруду изъ бани? Коли вамъ не любо, не гляди, а насъ не тронь, намъ не указывай»... Заднія постройки, вмѣщающія въ себѣ амбары, погреба, сараи и квартиры различныхъ животныхъ и птицъ, съ неизмѣнными скворешниками, такъ крѣпко прильнули другъ къ другу, что съ другой стороны берега и съ самаго озера не видать переулковъ и домовъ, только развѣ кое-гдѣ можно увидать трубу, да и съ самой плотины въ старозаводскую слободу только одинъ ходъ, т. е. одна улица, и та, очень узкая, идетъ не прямо съ плотины, а направо противъ фабрики, и то идетъ внутрь косо. По обѣимъ сторонамъ ея сдѣланы или заплоты, или зданія постройки. Такъ вотъ и кажется, что старозаводчане прячутся отъ любопытныхъ людей, какъ будто они не долюбливаютъ запрудныхъ и обстроились такъ, что всегда могутъ отразить непріятеля раньше, чѣмъ онъ подойдетъ къ ихъ домамъ. Во всей старозаводской слободѣ только одна улица, идущая вдоль по озеру версты на полторы и къ горѣ на полверсты, и та, гдѣ кривая, гдѣ косая, вѣроятно, смотря по тому, какъ устроилось озеро; и только на правой сторонѣ ея сдѣланы небольшіе переулки. Дома построены тѣсно, и ихъ отдѣляютъ только небольшіе заплоты съ воротами и колышками: во дворахъ навѣсы, т.-е. крытые дворы съ пристройками. И все это старо до-нельзя, едва-едва держится безъ подпорокъ, и такъ сплотилось тѣсно и дружно, что съ одного конца улицы можно свободно пройти по крышамъ на другой конецъ улицы. Старозаводчане новыхъ домовъ, вмѣсто старыхъ, не строятъ, а только каждую осень утыкаютъ пазы или дыры въ нихъ мхомъ, и каждую осень приколачиваютъ къ прогнившимъ мѣстамъ деревянныя заплатки, думая, что, починивши домъ, они могутъ прожить въ немъ сполагоря еще лѣтъ пять, а тамъ опять можно починить, и все-таки починиваютъ и утыкаютъ каждый годъ и тогда, когда зимой очень холодно. Если лѣтомъ въ дождь вода проходитъ сквозь крышу и потолокъ, они не сердятся, говорятъ: «Божья вода—Божья благодать», и считаютъ за счастіе эти капли. Нѣкоторые даже собираютъ эту воду и употребляютъ ее или на крещеніе своихъ дѣтей, или на лѣченіе и пр. Не хотятъ они строить новые дома еще и потому, что имъ жалко разстаться съ ними, и живутъ даже въ очень ветхихъ потому только, что если строить домъ, то нужно просить разрѣшенія начальства, кланяться которому они не привыкли. Впрочемъ, не всѣ старозаводчане не строятъ новыхъ домовъ: новый членъ семейства, захотѣвшій отдѣлиться отъ своей родни, строитъ, безъ всякаго спроса у начальства, новый домъ, въ два и три окна, за слободой, у лѣса, и эти постройки принимаютъ точно такой же видъ, какъ и въ запрудной сторонѣ, за выѣздомъ, и даже хуже.

Въ запрудной сторонѣ осиновцы живутъ какъ-то замкнуто; если и видно свободное обращеніе, игры ребятъ, свободную прогулку животныхъ, такъ это только тамъ, за господской и приказчицкой улицами, и тамъ, куда никогда не заглядываетъ высшее начальство, но тутъ всѣ какъ будто боятся кого-нибудь. Напримѣръ, пошла по улицѣ корова, хозяйка боится: «ай, она уйдетъ на приказчицкую улицу! Ай-бы ее въ полицу не взяли?» Играютъ ребята; отцы пугаютъ ихъ: «вотъ те управляющій увидитъ,—вздуетъ». Запоетъ мастеровой на улицѣ пѣсню, его унимаютъ: «смотри, въ полицу попадешь»... Однимъ словомъ, здѣсь всѣ боятся начальства. Не то въ старозаводской слободѣ. Здѣсь

всякъ живетъ по-своему, какъ ему хочется, дѣлаетъ въ своей слободѣ, какъ ему нравится; начальство знаютъ только за слободой, а придетъ начальство въ слободу, они сдѣлаютъ такъ, что начальство ничего не возьметъ съ нихъ и уйдетъ ни съ чѣмъ.

Несмотря на то, что по улицамъ и переулкамъ лѣтомъ всегда грязно, здѣсь каждый день свободно бѣгаютъ ребятишки обоихъ половъ, не стѣсняясь даже и тѣмъ, если на нѣкоторыхъ, по бѣдности родителей или по недосмотру старшихъ, нѣтъ рубашки; бѣгаютъ со змѣйками, играютъ въ лошадки и бабки и во что попало. Въ особенности здѣсь бѣгаютъ за коровами, которыхъ безцеремонно теребятъ за хвосты. Здѣсь коровы, курицы и весь прочій четвероногій и двуногій синклитъ подданныхъ старозаводчанъ расхаживаетъ и летаетъ свободно, какъ дома, роется умильно въ грязи, захаживаетъ и забѣгаетъ въ чужіе дворы и огороды, какъ будто все это царство родня другъ другу. Здѣсь не рѣдкость увидать, какъ корова, по колѣна въ грязи, расхаживаетъ свободно по грядамъ, съ наслажденіемъ поѣдаетъ гороховые стручки и прочее съѣдомое людей и, забравшись по колѣна въ воду, пьетъ ее и мычитъ, смотря на сторону. Только однѣ кошки, кажется, не дружелюбны между собой, и этимъ горемыкамъ плохо приходится за ихъ любовныя похожденія отъ ребятъ, которые съ визгомъ и ревомъ швыряютъ въ нихъ каменьями или таскаютъ по всей улицѣ за хвостъ, за уши и за что попало.

Собакамъ здѣсь нечего дѣлать. Онѣ всѣ хорошо отъѣлись и цѣлый день спятъ; зато ночью онѣ, какъ сторожа, дремлютъ у воротъ каждаго дома, и только залаяла одна собака, черезъ двѣ минуты всѣ старослободскія собаки залаютъ въ одинъ голосъ, становясь на дыбы, ощетинившись, и лаютъ такимъ манеромъ если не цѣлую ночь, то цѣлый часъ, до тѣхъ поръ, пока хозяева не уймутъ ихъ безтолковое лаянье. А собакъ здѣсь даже больше, чѣмъ домовъ въ слободѣ.

Здѣсь жизнь кипитъ болѣе, чѣмъ въ запрудной слободѣ. Если не видать мужчинъ на улицѣ или въ переулкахъ, гдѣ дома выходятъ лицомъ въ переулки, то видны женщины, дѣвицы и ребята обоего пола. Каждый и каждая отправляютъ свою дѣятельность свободно, никѣмъ не стѣсняясь, какъ будто всѣ довольны своимъ положеніемъ. Союзность ихъ или хорошее расположеніе другъ къ другу замѣчаются изъ обращеній съ перваго раза.

Вонъ изъ одного дома вышелъ пожилой мужчина, въ рубахѣ и штанахъ. Порекрестившись, онъ присѣлъ на лавочку около дома. На улицѣ играютъ ребята.

— Ванька, я тебѣ, шельмецъ!

Ванька, бѣловолосый парень, скорчилъ глаза, прискокнулъ на одной ногѣ и пустился бѣжать по улицѣ, потому-что въ зубахъ у него была веревка, которую за оба конца держали дѣвочка и парень, такой же бѣловолосый.

— Тебѣ говорятъ, шишкотрясъ!

— Я, тятька, чуточку.

Противъ сидѣвшаго на другой сторонѣ отворили окно.

Изъ него высунула голову молодая, толстолицая женщина.

— Здорово, Петровичъ! Ты чего сидишь?

— Нездоровится, Маланья.

— Эко диво!.. Больно нездоровится?

— Да вишь ты, на работу бы надо, потому, значитъ, урока тамотка не кончилъ.

— А послалъ ли кого-нибудь?

— Да послалъ вонъ Гаврилу, да будь они прокляты,—полтину денегъ на серебро послалъ туто-ко.

— А, чтобъ ихъ разорвало, прорвъ эхихъ... Здорово!—проговорила изъ того же окна старуха.

— А ты ничего, Мареа?

— Како!.. Кость ноетъ. Прикладывала дождевой водицы, все нѣту легче... Вонъ ребятки-то на рудникъ ушли. Слышалъ?

— Сказывалъ Никола... Эки времена!—Сидѣвшій всталъ и пошолъ къ окну. Навстрѣчу ему попался молодой парень.

— А, дѣдко!

— А ты что?

— Рыбачить хочу.

— Сробили, что ли?

— Не хочу робить. Ну, ихъ!

— Это не гоже, парень... Коли мы робимъ, вамъ нужно робить, — вотъ что. Мало ли что у насъ тамъ съ ними, а коли мы такіе рабочіе, да маленькіе, что дѣлать? Робить надо, потому грѣхъ...

— Я хочу свое робить, а не ихно.

— Опять я тебѣ скажу дѣло: земля-то наша, да, вишь ты, мы не умѣли её къ рукамъ прибрать, а отдали другимъ, ну, и опростоволосились: и заставили насъ робить, потому, значитъ, тѣ сильнѣе насъ, да мы же хлѣбъ отъ нихъ ѣдимъ; вотъ что. А ты что скажешь: куда итти робить-то? Ну-ка?

— Не хочу ихное робить!

— Экъ-те ребята-то сбили... Какъ знашь... Я вотъ и уволился совсѣмъ, да дома-то скучно: къ работѣ привыкъ. А и трудно оно, да другое-то робить не умѣю... Все-же мало-мальски и перепадетъ что...

— Ловить рыбу буду.

— Э! Ты думаешь, много ты ее напродашь намъ-то!

— Я имъ буду продавать.

— Хорошо, коли купятъ.

— А ужъ ихную работу робить не хочу. Вѣдь и ты тоже лыташь?

— Ну, не то ладно. Хорошо, коли отставятъ отъ работы, а какъ да нѣтъ?

— Я ужъ ходилъ къ приказчику.

— Ну?

— Девятнадцать, говоритъ, вашихъ уволилъ; кто теперь будетъ робить?

— Ишь дьяволъ! А зачѣмъ деньги взялъ? Станешь проситься, не беретъ—денегъ проситъ... Теперь тоже. Забирать бы тобѣ тамо-ка не надо.

— Ну, я ему и говорю: вѣдь мы за себя деньги платимъ, все равно, значитъ, что сами робимъ. Не учи, говоритъ, выдеру... Таково, знаешь, зло взяло...

— Выдрать не смѣетъ. Петра, старшину свово, пошлемъ къ самому.

— Петровичъ!—закричала одна женщина изъ другого дома, — ты похлопочи за парня-то. Тебя послушаетъ.

— Похлопотать похлопочу, только не послушаютъ, поди... На насъ-то они злы больно.

— Бумагу напишемъ. Петръ снесетъ.

— А какъ бы насъ всѣхъ отставили отъ работы?—вмѣшался парень лѣтъ десяти.

— А тебѣ что?

— Какъ что? Два года роблю, а онъ что...

— Погоди. Другу работу надо искать. Слыхалъ я, толкуютъ, намъ новое положенье пришлютъ: что-де платить больше поденну.

Изъ воротъ какого-то дома вышла женщина съ чашкой и ушла черезъ дорогу въ противоположный домъ. Ее окликалъ парень, который хочетъ заниматься рыболовлей:

— Ты куда?

— Муки попросить.

— Скажи, я, молъ, забѣгу къ ней.

Ребята стали играть. Семь мальчугановъ встали кругомъ, начали топтаться кругомъ одного.

— Чего вы, балбесы, балуете!—закричала на нихъ одна старуха.

— Не мѣшай, пусть учатся!—замѣтила другая.

Ребята рады были поиграть въ то, что серьезно дѣлалось старозаводчанами. Однако, имъ скоро надоѣла эта игра, они начали хлыстовщину. Много можно замѣтить разныхъ сценъ въ продолженіи дня, но мы теперь отложимъ это до другого раза, а теперь начнемъ свой разсказъ по порядку. Многія сцены покажутся, можетъ-быть, возмутительными, но избѣжать ихъ нельзя. Этими сценами никто изъ старозаводчанъ не обижается, потому всѣ они, старые и малые, дѣлаютъ ихъ если не каждый день, то хотя разъ въ недѣлю... Да, всѣ осиновцы знаютъ это и смотрятъ, какъ на дѣло обыкновенное, дѣло необходимое, хотя у запрудныхъ нѣсколько иначе, потому-что запрудные—единовѣрцы поповщинской секты и человѣкъ пятьсотъ православные, а старозаводчане—всѣ раскольники безпоповщинской секты, доказательствомъ чего служитъ съ самаго входа въ эту слободу то, что тамъ нѣтъ ни одной часовни, а въ рѣдкомъ домѣ есть какая-нибудь комната для моленья, а въ нѣсколькихъ домахъ есть особыя устройства для своихъ домашнихъ часовенъ и различныхъ тайниковъ, гдѣ, несмотря на бѣдныя обиталища старозаводчанъ, какими они кажутся съ перваго раза, хранятся ихъ богатства, нажитыя дѣдами и отцами въ различное время и о которыхъ знаютъ только ближайшія поколѣнія, о которыхъ, т. е. богатствахъ, даже не знаютъ ближніе сосѣди, хотя эти ближніе сосѣди, были бы и родня другъ-другу.

IV.

Темь.

Когда-то мнѣ привелось прочитать книгу «Обозрѣніе пермскаго раскола». Въ этой книгѣ, сочиненной не свѣтскимъ человѣкомъ, хотя и есть нѣкоторая правда, но самой, какъ говорится, сути я не нашелъ. Напримѣръ, въ ней не встрѣчается того, какое ученіе проповѣдывали первые раскольучители въ глухихъ мѣстахъ, а сказано, что былъ какой-то бѣглый попъ, привлекъ къ себѣ много людей, тѣмъ дѣло и кончилось; главное авторъ не коснулся того времени, съ котораго начался расколъ въ этихъ глухихъ мѣстахъ, чѣмъ были люди до того времени, не развилъ вполнѣ начала этого ученія и не показалъ развитія людей, вѣрующихъ по-своему.

Онъ во всемъ видитъ грѣхъ и преступленіе; онъ собралъ факты, какіе ему были доставлены мѣстными священниками, основанные частью на непріязни къ прихожанамъ, частью изъ своихъ интересовъ. Да и вообще всѣ авторы, собиратели различныхъ свѣдѣній о пермскихъ раскольникахъ, ограничивались тѣмъ, что они слышали отъ людей, останавливались на различныхъ фактахъ, по которымъ давали заключенія такого рода, что раскольники—опасные люди, хуже татаръ, которыхъ нужно преслѣдовать, уничтожать; сами же они очень мало знали внутреннюю ихъ жизнь, борьбу различныхъ партій изъ-за своихъ интересовъ, за свое родное. Большая же часть ихъ писали по актамъ, какіе приводилось доставать имъ изъ различныхъ архивовъ. Но мы оставимъ ихъ собирать акты, а посмотримъ ближе на начало, развитіе, послѣдствіе русскаго духовнаго раскола и вліяніе различныхъ обстоятельствъ на раскольниковъ одной мѣстности, имѣя въ виду то, что и въ другихъ мѣстностяхъ разныя секты со временемъ линяютъ, и чѣмъ больше и дольше подчиняются своему умственному развитію, тѣмъ больше становятся подъ общій уровень съ обществомъ, съ которымъ они живутъ.

Не беремъ на себя писать вообще обо всемъ расколѣ, такъ какъ это безполезный, можетъ-быть, трудъ, но въ настоящемъ очеркѣ посмотримъ ближе на бытъ нѣкоторыхъ сектъ одной мѣстности, которую мы назвали Осиновскимъ заводомъ. Хотя собственно такого названія не существуетъ, но люди такіе есть, напр. въ Нижне-Томскомъ заводѣ, во многихъ заводахъ Демидова, Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ и пр., и даже въ г. Екатеринбургѣ, въ которомъ нынѣ немного раскольниковъ, и тѣ народъ смирный, трудолюбивый, ладящій съ остальными жителями, исключая развѣ Шарташескаго селенія, которое, хотя и крѣпко держится старины внутри, но силится переломить себя на миръ съ Екатеринбуржцами, которые частію пользуются отъ нихъ матеріалами и отъ котораго они кормятся.

Не будемъ мы касаться ихъ обрядностей, а будемъ имѣть въ виду внутренній бытъ бѣдныхъ, рабочихъ людей, и здѣсь о расколѣ въ русской церкви только скажемъ кстати, не обличая никакія партіи; будемъ брать предметъ, какъ онъ есть. Губерніи Пермская, Вятская и Вологодская, называемыя назадъ тому триста лѣтъ Великою Перміею, и теперь за исключеніемъ половины Пермской очень бѣдны тѣмъ, что даютъ мало выгодъ населяющимъ ихъ людямъ. Какъ онѣ, такъ и Архангельская губернія со своими огромными пустырями, не тѣсно населены, сравнительно съ другими гу-

берніями, занимающими небольшія площади на русской землѣ. Губерніи ближе къ Петербургу и Москвѣ, столицамъ этой русской земли, гораздо меньше по объему, но населеннѣе, люди въ нихъ развитѣе, потому что на нихъ нѣкоторымъ образомъ имѣетъ вліяніе та или другая столица, гдѣ даже простой рабочій развитѣе деревенскаго жителя, исключая развѣ богатыхъ, которые имѣютъ столкновенія съ различными людьми. Губерніи эти старыя, т. е. города, села и деревни давно основаны; народъ дѣятельнѣе и состоятельнѣе, потому-что или онъ пользуется выгодами съ земли, или работаетъ на фабрикахъ, на людей, и, если бы не было нашихъ рабочихъ людей изъ другихъ бѣдныхъ отдаленныхъ губерній и нѣкоторыхъ привычекъ, губящихъ народы, то люди эти жили бы не бѣдно.

Въ этихъ губерніяхъ, исключая большихъ городовъ, люди большею частію мѣстные, т. е. тамошніе уроженцы или сосѣди; сюда же для наживы хлѣба и денегъ, приходятъ люди изъ отдаленныхъ мѣстъ. Не то въ тѣхъ четырехъ губерніяхъ. Мы посмотримъ на развитіе ихъ.

Назадъ тому триста лѣтъ тутъ было огромное пространство дикихъ лѣсовъ, обитаемыхъ одними дикими звѣрями. Такъ мы знаемъ по крайней мѣрѣ по исторіи; но можно предполагать, что и тамъ, кое-гдѣ при рѣкахъ, жители были—и были, можетъ-быть, монгольской или татарской породы, русскіе выходцы, которымъ надоѣло жить въ рабствѣ у другихъ людей, которымъ хотѣлось свободы и раздолья. И такіе люди, какъ мы знаемъ по различнымъ исторіямъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ были. Надо полагать, что это были люди какъ люди, сначала бѣжавшіе съ родины и тутъ питающіе себя мясомъ и кровью звѣрей и животныхъ, питающіеся рыбою. А что такіе люди были, такъ это понятно изъ того, что въ Архангельской губерніи и до сихъ поръ есть самоѣды, питающіеся оленьимъ мясомъ и оленьей кровью, не имѣющіе понятія о хорошихъ горницахъ, нашей петербургской пищѣ, нашихъ удовольствіяхъ и деньгахъ.

Нельзя полагать, чтобы тѣ люди были развитые, потому что въ то время, извѣстно, на нашей землѣ стоялъ застой умственныхъ способностей: что дѣлалъ отецъ, то дѣлали дѣти; какъ понималъ богатый деспотъ, такъ старался понимать и бѣднякъ, если только ему было время и охота понимать. Въ тѣхъ мѣстностяхъ люди заботились только о пищѣ, за которой они ходили кучками очень далеко и, конечно, проводили свою жизнь въ бродячемъ состояніи или спали подолгу, когда они были обезпечены. Вся ихъ работа состояла въ пріобрѣтеніи пищи дома; другихъ занятій они не знали. Но вотъ стали они натыкаться на такія вещи, которыя доставили имъ больше развлеченій. Нашли они соленый ключъ, подивились и бросили; другіе замѣтили, что если вынешь изъ соленаго ручейка щепку, то эта щепка, черезъ нѣсколько времени, подернется сѣроватымъ слоемъ; третьи говорили, что они видѣли, какъ такіе-то употребляютъ это сѣрое въ пищу. И изъ этого ключа они стали извлекать выгоду сначала для себя, а потомъ для татаръ и своихъ сосѣдей, которые, хотя не употребляли соли, но снабжали ею другихъ, получая за то различныя роскошныя для дикарей вещи. Нашлись люди, которые завладѣли мѣстностью и завели варницы, нашлись къ нимъ и рабочіе; и эти рабочіе приняли жизнь осѣдлую, потому-что имъ построили теплыя помѣщенія, давали хлѣбъ и плату за трудъ и, какъ работа ни была трудна, однако она ихъ занимала... Отсюда начался трудъ въ этой мѣстности, но все-таки охотниковъ на такой трудъ было немного, потому что людей было немного, изъ которыхъ одни не имѣли понятія о такой промысловой работѣ, а другимъ нравилась бродячая жизнь. Нѣкоторые люди находили каменья, мѣдную руду такимъ образомъ: захочется человѣку погрѣться у горы, нарубитъ онъ дерева и зажжетъ большой костеръ; послѣ того, какъ погаснетъ огонь, онъ увидитъ подъ золой расплавленную мѣдь *), сначала удивится и сообразитъ, что такое же подобіе онъ гдѣ-то видѣлъ, и заберетъ мѣдь съ собой, надѣясь выспросить у сосѣдей, промѣнять на что-нибудь, а мѣстность запримѣтить. Узнаетъ богатый, знатный человѣкъ, что тамъ-то есть мѣдь, желѣзо, онъ приласкаетъ бѣднаго и заберетъ въ свою власть не только руду, но и всю мѣстность и заберетъ не самъ, а ему дадутъ изъ благодарности за то, что правительство отъ него будетъ пользоваться своимъ желѣзомъ и своею мѣдью. Современемъ такихъ владѣльцевъ распространилось много, а самые открыватели мѣстъ становились рабочими, потому-что имъ не давали вѣры разные воеводы, такъ же, какъ не даютъ вѣры и теперь крестьянамъ, отрывающимъ золото, которое переходитъ въ руки богачей только потому, что крестьянинъ глупъ и недостоинъ называться золотопромышленникомъ. Очень понятно, что ни богатый человѣкъ, ни его повѣренный не знаютъ мѣста, гдѣ руда: крестьянину нельзя промышлять золотомъ, и онъ продаетъ весь рудникъ за какихъ-нибудь десять, тридцать рублей. Такимъ образомъ начался трудъ рудничный, фабричный. Но мѣстность все-таки была пустая, мѣстныхъ рабочихъ не находилось, потому-что жителей было мало, и они не хотѣли быть въ зависимости отъ деспота, шли дальше въ лѣсъ и на горы, открывали тамъ руду, дѣлали изъ нея боговъ своихъ и продавали ее очень дешево, и если ихъ ловили, они разсчитывались рудой такъ же, какъ и раньше отсчитывались шкурами и прочими матеріалами своей работы. Богатымъ людямъ были подарены земли, и, если на этихъ земляхъ жили люди, то и эти люди, какъ товаръ, дарились имъ же за руду и проч. Но эти люди были дикіе; если ихъ нужно было силой заставить работать, они молились своимъ богамъ и бѣжали отъ чужой власти. Все-таки рабочіе находились, жили цѣлыми селеніями около рудниковъ, жили весело; отъ нихъ расплодился особый классъ горнозаводскихъ людей, принадлежавшій или казнѣ, или богатымъ людямъ. Въ это-то время начался расколъ въ русской церкви.

*) Недалеко отъ Богословскаго завода есть гора, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она свѣтла: это мѣдь, т. е. расплавленная отъ солнца руда.

Изъ различныхъ актовъ мы знаемъ, отчего начался этотъ расколъ. Посмотримъ ближе на бѣдный классъ людей, имѣющій свой взглядъ на религію.

Бѣдный человѣкъ, живущій подъ началомъ, съ дѣтства запуганъ: онъ боится того, что, по его понятіямъ, выше его; но къ религіи онъ относится проще, безцеремоннѣе, чѣмъ къ начальнику. Онъ думаетъ, что за убійство его схватитъ начальство, за воровство тоже; начальство деньги даетъ, начальство наказываетъ, начальство всегда при глазахъ, и, хотя онъ и вѣритъ въ свою религію и слѣдуетъ примѣру своихъ отцовъ, но вѣритъ безсознательно, самъ не понимая своего вѣрованія.— Это—вѣра коренныхъ жителей, такъ называемыхъ язычниковъ. Крестьяне другихъ губерній вѣровали въ истиннаго Бога твердо, хотя и боялись начальства на дѣлѣ больше Его. Ихъ съ дѣтства учили молиться, они кругомъ видѣли людей одной вѣры съ ними, они умилялись въ церкви, гдѣ ихъ воображеніе останавливалось на иконахъ, въ которыхъ они видѣли божество; они сосредоточивались сами въ себѣ, когда молились, и плакали, изливая свое горе невидимому Божеству, черезъ Котораго надѣялись за гробомъ получить хорошую жизнь.— И это выработалось вѣками, выработалось такъ, что они за вѣру готовы умереть больше, чѣмъ за начальство, которое въ дѣйствительности имѣетъ свою силу. И вдругъ имъ говорятъ: «вы не такъ молитесь, вы раскольники»... Попробуйте вы сказать это петербургскому рабочему изъ православныхъ, и узнаете, что вы его обидѣли. Каково же было тогда, когда люди начали только-что развиваться.

Бѣдные люди видѣли, что они молились такъ-же, какъ и отцы ихъ молились; сами же они понимали, что такъ и слѣдуетъ молиться, потому что хорошо. Теперь имъ говорятъ: «вы вотъ какъ молитесь; а если вы не будете слушаться, мы пытать, мучить васъ будемъ»... Что избрать бѣднымъ людямъ? Имъ нуженъ былъ хлѣбъ; имъ не растолковали, какъ и почему нужно молиться по-новому, а только требуютъ съ угрозами. «Богъ одинъ— рѣшили они: Божья власть да воля царская». И стали молиться по-новому, соболѣзнуя о старомъ только потому, что тогда не было людей такихъ, которые бы растолковали имъ толкомъ, въ чемъ дѣло. Дѣло касалось религіи: дѣло важное, не бывалое, сущность котораго знали правильно очень немногіе. Многимъ не хотѣлось перемѣнять свои молитвы такъ, какъ ихъ учили по-новому: имъ дорого было то, что укоренилось постепенно ихъ отцами; новизны они не понимали, да и растолковать эту новизну умѣли только насиліемъ. Быть-можетъ, народъ и понялъ бы сначала, въ чемъ дѣло, если бы ему растолковали ласково, полегоньку, но нашлись между ними такіе, которыхъ уважало большинство за ласку, дружбу, довѣріе и пр., наконецъ, которые, крѣпко держась своихъ убѣжденій, въ насильственной новизнѣ видѣли что-то неладное; тѣмъ болѣе, что въ то время еще не было развито у насъ книгопечатаніе, какъ теперь, и народное образованіе покрыто было тьмой. Они увидали расколъ, потому что имъ первымъ предложили соборное рѣшеніе, и не захотѣли принять эту новизну, во что бы то ни стало. Они возстали противъ тѣхъ, которые вѣруютъ такъ же, какъ и они, вводятъ въ религіи измѣненія и заставляютъ насильно слѣдовать ихъ примѣру. Народъ не понималъ этого нововведенія; они пошли къ своимъ пріятелямъ; толковые люди научили ихъ молиться по-старому. Этимъ толковымъ людямъ досадно было, что ихъ прихожане раздѣляются на партіи: партія новизны пользуется преимуществами, старая партія презирается. Увѣщевать было трудно, потому что за ними слѣдили, имъ грозили наказаніемъ, и они, не осиливъ партію новизны, захотѣли отстать отъ нихъ, бѣжали въ другіе города, въ села, въ лѣса, и, гдѣ только находили людей, учили держаться крѣпко своихъ убѣжденій и послѣдовать ихъ ученію.

Сначала ученіе было одно, потомъ учителей-епископовъ, бѣглыхъ священниковъ, толковыхъ мірянъ—развелось много по государству; каждый училъ по-своему—и основались различныя секты, съ разными толками, разными понятіями, хотя цѣль всѣхъ была одинъ предметъ—одна религія. Вышла вражда, вышли никоновцы и раскольники, двѣ партіи, которыя ненавидѣли другъ друга и старались каждая мстить другъ другу. Стало плохо жить раскольникамъ въ обществѣ другой партіи, и они, самые ярые, шли въ другія новыя мѣста, гдѣ не было начальства; а такихъ пустыхъ мѣстъ было очень много. Но тамъ не находилось епископовъ и священниковъ, и они стали искать такихъ. Къ нимъ приходила всякая всячина: и бѣглые попы, выгнанные изъ службы за разныя пакости, и люди, называющіеся попами, и прочая сволочь, которыхъ принимали довѣрчивые люди, учились у нихъ ихъ ученіямъ, которое состояло въ крѣпкой враждѣ къ никоновцамъ и ко всему, чему учитъ никоновское ученіе. Отъ этихъ учителей секты раздѣлились еще на секты, которыхъ основалось такъ много, что въ каждой мѣстности была одна религія съ разными понятіями, своими молитвами, своими священнодѣйствіями, и опять зачалась вражда этихъ партій между своими партіями, такъ что каждый житель селенія считалъ жителя другого селенія раскольникомъ, если только онъ былъ не ихъ секты. По виду же основалось три коренныхъ секты: единовѣрцы, имѣющіе церкви, въ которыхъ служатъ православные священники, называемые миссіонерами. Эти единовѣрцы, молящіеся по-своему, на свое единовѣріе начинаютъ смотрѣть такъ же, какъ и православные на свое православіе, и не причисляются въ православіе потому, что это причисленіе считаютъ грѣхомъ. Многіе изъ этихъ людей общительны съ православными, даже пьютъ чай, вино, а богачи ѣздятъ на балы и въ театры. Нѣкоторые изъ нихъ только считаются единовѣрцами, а принадлежатъ къ одной изъ остальныхъ двухъ сектъ: поповцамъ или безпоповцамъ, смотря потому, въ которой они воспитаны, и отправляютъ свои обряды по этимъ сектамъ. Поповщина имѣетъ свои часовни, а если она боится имѣть ихъ от-

крыто, то имѣетъ секретныя молельни, гдѣ службы отправляютъ ихъ попы, большею частію прихожіе изъ другихъ мѣстъ и меньшею частію однопоселяне; безпоповщина поповъ имѣть не желаетъ, а у нихъ службы и разные обряды отправляютъ или отцы, или каждый мужчина, или одинъ изъ уважаемыхъ всѣми ими наставникъ или старшина. Обѣ эти секты единовѣрцевъ не любятъ, «потому, говорятъ они, что они служатъ ни нашимъ, ни вашимъ». Такимъ образомъ расплодилось огромное число людей, называемыхъ раскольниками, людей одной религіи, но съ разными убѣжденіями и моленіями, отъ чего, какъ отъ главнаго и важнаго предмета, безтолковая вражда и теперь еще гнѣздится кое-гдѣ.

При Петрѣ Великомъ началось гоненіе раскольниковъ, и въ это же время требовались люди на вновь открытые заводы, гдѣ имъ разрѣшалось отправлять свою религію, какъ имъ нравится. Раскольники были рады этому и толпами шли на новую землю, гдѣ имъ сулили золотыя горы. Когда они приходили на заводы и обзаводились хозяйствомъ, ихъ прикрѣпляли или въ казну, или къ владѣльцу, и такимъ образомъ составилось горнозаводское населеніе изъ раскольниковъ. Современемъ оно размножилось, воспитывая дѣтей въ своей вѣрѣ по разнымъ сектамъ, и такъ укоренилось на этихъ мѣстахъ и съ своими убѣжденіями, что въ этой религіозности ихъ трогать и глупо, и безполезно, потому что съ своими убѣжденіями они, занятые работами люди, въ своихъ мѣстахъ никому не мѣшаютъ. Тѣ, которые занимаются торговлей, живутъ въ городахъ, подчиняются вліянію нашего общества: лицемѣрятъ изъ-за своихъ интересовъ, отдаютъ тоже изъ-за интересовъ дѣтей въ училища и гимназіи и, наконецъ, изъ-за различныхъ интересовъ на свои убѣжденія уже не упираются и уже не соблюдаютъ тѣхъ правилъ, какія прежде были выработаны ихъ дѣдами, ни въ обществѣ, ни у себя въ домѣ.

Такъ какъ съ прикрѣпленнаго человѣка требовалась только работа и объ образованіи людей не заботились, то здѣсь и теперь стоитъ умственный застой, съ разными суевѣріями, прежними привычками, поются свои мѣстныя пѣсни и пр. Хотя же и существуютъ школы, но выходящіе оттуда умѣютъ только писать и читать.

V.

Старозаводчане.

Тамъ, гдѣ теперь старозаводская слобода, недалеко отъ озера есть землянка, оберегаемая тщательно однимъ мастеровымъ. Отъ этой землянки, говорятъ, и началось первое заселеніе старозаводской слободы. Здѣсь жилъ монахъ Кириллъ безпоповщинской секты. Кто-то узналъ про его подвижничество, и отъ этого человѣка стали къ монаху приходить сосѣдніе люди для поученій, а потомъ съ семействами тутъ и поселились жить. Кириллъ и его товарищи ловили рыбу и сначала питались только ею и тѣмъ, что дастъ скотъ. Стали они заниматься и хлѣбопашествомъ, но черезъ пять лѣтъ они получили немного худого ярового, льна и травы. Однако, они не оставили этотъ трудъ и рѣдко ѣздили далеко въ города за мукой и разными необходимыми вещами, которыя промѣнивали на ленъ, рыбу и лапти. Они не хотѣли ни передъ кѣмъ кланяться и жили самостоятельно и дружно долго на своемъ мѣстѣ, управляясь старшиной, которымъ сначала былъ Кириллъ, а потомъ старики. У нихъ не было церкви, часовни, а въ каждомъ домѣ были молельни; каждый старикъ въ семействѣ былъ глава надъ семействомъ; у нихъ былъ свой судъ, своя расправа, не было никакихъ распрей. Въ дѣла другихъ раскольниковъ они не касались, были очень довольны своимъ положеніемъ и съ другими людьми не сближались, потому-что вблизи не было селеній. Современемъ они стали размножаться, понастроили себѣ дома и сдѣлались каждый родня другъ другу. Браки у нихъ совершались очень просто—или отцами, или безъ обрядностей, да и то, что мы называемъ развратомъ, по ихъ понятію, не было развратомъ, даже и въ такомъ случаѣ, если братъ спалъ съ сестрой, и отъ нея рождался сынъ. Такимъ образомъ дѣтей развелось много, и эти дѣти крестились или при смерти, или въ старости, на томъ основаніи, что, по ихъ понятіямъ, крещеному нельзя было имѣть жену. При этомъ они всѣ были друзьями и помогали другъ другу безобидно. Если пропадалъ куда-нибудь одинъ изъ нихъ, они отыскивали его, а не отыскавши его, служили по немъ панихиды всѣ вмѣстѣ. Къ себѣ они принимали только людей ихъ секты.

Въ одинъ годъ у нихъ былъ какой-то прохожій монахъ. Этотъ монахъ сначала велъ себя хорошо, но потомъ старые люди стали замѣчать, что онъ дѣлаетъ какія-то сходки. За нимъ стали слѣдить и подкараулили. Разъ онъ сидѣлъ въ одномъ домѣ, гдѣ было четверо мужчинъ, семь женщинъ и двѣнадцать ребятъ.

— Неправильно вы слѣдуете ученію Христову,— говорилъ монахъ.

— Нѣтъ, вѣрно.

— Ну, зачѣмъ не креститесь при рожденіи?

И сталъ имъ приводить разные доводы. Онъ всѣхъ сбивалъ съ толку; слушающіе начинали соглашаться. Вошли старики съ дубинами.

— Такъ-то ты!—сказали они и потащили его изъ избы. А вамъ не стыдно!.. Коли вы ему слѣдуете, пошли отсель.

Хозяева струсили, но сказали:

— Онъ насъ давно смущаетъ.

Старики общимъ совѣтомъ рѣшили связать монаха и утопить въ озерѣ, которое было ими же названо Осиново; но старшина посовѣтовалъ не дѣлать убійства, а высадить монаха на другую сторону.

Въ томъ же мѣстѣ, гдѣ теперь фабрика и рѣчка, тогда еще было озеро, простирающееся до горы, но современемъ оно высохло.

Такъ старики и сдѣлали. Когда везли монаха, въ озеро кидали каменья. Монахъ остался на другой сторонѣ и долго кричалъ на старозаводчанъ:

— Еретики, еретики! горѣть вамъ всѣмъ въ огнѣ.

Старозаводчане рѣшили перестроить домъ, гдѣ онъ проповѣдывалъ. Домъ сломали, землю срыли и оставили пустое мѣсто, которое впослѣдствіи превратилось въ переулокъ. Монахъ не смѣлъ и носу показать въ старозаводскую слободу; но между молодыми слушателями его началось безначаліе, поднятое женщинами. Женщины настаивали на томъ, что ребятъ надо крестить, и приводили въ примѣръ нѣсколькихъ дѣтей, умершихъ безъ крещенія. Мужья сначала поколачивали ихъ, потомъ только нукали.

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого двое старозаводскихъ мужчинъ ловили рыбу на той сторонѣ озера. Вдругъ подходитъ къ нимъ монахъ съ четырьмя мужчинами.

— Зачѣмъ вы здѣсь рыбу ловите?—сказалъ онъ.

— Озеро наше, а не твое; тебѣ какое дѣло?

Завязалась ссора, потомъ драка. Рыболововъ убили. На другой день старозаводчане приплыли на эту сторону въ десяти лодкахъ, убили монаха и его учениковъ, разворочали ихъ обиталища и назвали эту землю проклятой. Съ этихъ поръ около этого берега рыбачить почиталось за грѣхъ, а кто выходилъ на берегъ, тотъ получалъ наказаніе.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого старозаводчане открыли желѣзную руду, стали дѣлать, какъ умѣли, желѣзо и продавали его въ городѣ и разнымъ торговымъ людямъ, которыхъ они отыскивали на большихъ рѣкахъ. Открыли они и мѣдную руду, стали изъ нея дѣлать вещи, продавали эти вещи, и всѣ принялись за промыселъ, бросивъ хлѣбопашество, обративъ его въ покосы для скота. Денегъ они наживали много, но новыхъ домовъ вмѣсто старыхъ не строили, боясь соблазна и того, что старое лучше на видъ, и новое подобаетъ строить только неимущему. Но эта добыча продолжалась не долго: нашелся изъ нихъ одинъ молодецъ, который за хорошія деньги показалъ одному болярину мѣсто желѣзной руды, и этотъ болярин наѣхалъ съ вооруженными людьми въ старозаводскую слободу. Старозаводчане озлились: того, кто продалъ руду, спустили съ камнемъ въ воду, а богачу сказали:

— Руда наша, не твоя, и не дадимъ.

— Она мнѣ царемъ дана, и вы теперь мои всѣ до одного, и вся земля эта на столько-то верстъ моя,—сказалъ боляринъ и показалъ имъ бумагу.

— Нѣтъ, врешь... Не давать ему ничего... Бей его!—завопили жители и подступили къ богачу и солдатамъ.

— Стрѣляй, братцы.

Люди выстрѣлили, убили нѣсколько человѣкъ, старозаводчане испугались, но покориться не хотѣли. У рудниковъ стояли вооруженные люди, которые не пускали старослободчанъ, но потомъ эти люди за деньги дозволяли имъ добывать руду и сами добывали.

Черезъ нѣсколько времени на той сторонѣ показались люди. Это были тоже раскольники, поповщинской секты. Они рубили лѣсъ. Началась работа. Старозаводчане составили совѣтъ.

— Какъ быть тутъ?.. Антихристъ пришелъ.

— Уйти надо.

— Куда?

— Поискать мѣстовъ.

— А это имъ отдать?

— Мой совѣтъ не работать, и все тутъ.

— Убьютъ.

— Чего боишься смерти? Ну, убей.

Трусы ушли изъ слободы, а большинство осталось, попрятавъ свои богатства въ разныя подземелья и ругая ушедшихъ.

— Ну, зачѣмъ они ушли? Значитъ, они отъ насъ отдѣлились, отщепенцы стали.

— Проклянуть ихъ надо.

— Зачѣмъ проклинать,—вѣдь родные они.

— А на что ушли, коли родные? А коли ушли, и плевать на нихъ.

— Мой совѣтъ такой: ежели кто придетъ, не принимать того.

— Такъ-то оно такъ, да хуже бы не было. Они, поди, знаютъ мѣста-то.

— Зачѣмъ мы ихъ пустили?

— То-то! Ну, зачѣмъ мы пустили?

— Зачѣмъ?.. Дураки мы всѣ.

— Божеское попущеніе за наши прегрѣшенія, заключили женщины.

А ушедшіе долго скитались по разнымъ мѣстамъ, и куда они ни приходили, вездѣ ихъ записывали въ господскія владѣнія. Это имъ не нравилось. Нѣсколько человѣкъ пріѣхали назадъ въ слободу. Ихъ встрѣтили дубинами.

— Зачѣмъ пришли? Коли ушли, такъ и бѣсу конецъ.

— Простите, други.

— Нѣту вамъ прощенія.

Нѣкоторые изъ слободчанъ заговорили было оставить ихъ, да старики хуже прежняго упирались на томъ, чтобы бѣглецовъ не принимать. Однако родные уговорили, чтобы бѣглецы, ради наказанья ночевали въ лѣсу и ждали отвѣта до другого дня, а до этого времени рѣшили приставить секретно къ нимъ караулы. Въ полночь въ одной большой избѣ составился совѣтъ изъ стариковъ.

— Не взять бы намъ грѣха на душу. Вотъ я о чемъ все думаю: вѣдь они родные намъ. Незаконно согрѣшили, теперь покаялись.

— Правда твоя. Я вотъ еще думаю что: они, пожалуй, убійствомъ будутъ заниматься.

— Ну, это по-нашему ничего—лишь бы намъ не повредили...

— То и худо... Отпусти ихъ, они и пойдутъ къ этому атаману, все имущество наше отнимутъ, разорятъ совсѣмъ. Ишь какъ стрѣляютъ!

— Не лучше ли намъ до поры до времени на миръ склониться?

— Я тоже смекаю. Ежели мы скажемъ: мы, молъ, теперь согласны, только землю намъ отдайте, озеро отдайте, и по нашему селу не ѣздить.

— Вѣрно! Руды чтобъ не брать!

— Пусть онъ заплатитъ за нее—и ладно будетъ.

— Не лучше ли намъ наняться къ нему?

— Зачѣмъ служить?

— А вотъ зачѣмъ: мы мѣста знаемъ, а онъ нѣтъ. Себѣ десять возовъ, ему возъ.

— Гоже! Пусть и тѣ работаютъ съ нами.

— Нѣтъ эдакъ убытокъ будетъ; тѣ тоже себѣ норовить станутъ. Они особо пусть, мы особо.

— Гоже! Мы это спросимъ; себѣ мѣдь возьмемъ, а имъ желѣзо.

— Гоже!

Бѣглецовъ простили, а къ новому владѣльцу послали троихъ стариковъ, самыхъ умныхъ, коихъ всѣ уважали въ слободѣ. Владѣлецъ обрадовался ихъ приходу.

— Ну что, братцы, не сердитесь?

— Что сердиться; не наша власть.

— Воля царская... Я васъ не держу на мѣстѣ. Тогда я погорячился, простите; теперь обдумалъ иначе: если вы не хотите работать мнѣ, то я даю вамъ сроку двѣ недѣли. Въ это время вы очистите землю и уходите. Руды вы съ собой не унесете...

— Да мы знаемъ, ея здѣсь немного.

Владѣльцу не хотѣлось отпустить слободчанъ, потому что они знали мѣста, а такіе люди были для него—кладъ. Но ему трудно было уговорить ихъ быть ему рабочими.

— Ужъ ты что хошь дѣлай, мы робить тебѣ не станемъ и съ мѣста не уйдемъ.

— Я вамъ вѣдь отдаю землю и покосы, а озеро будетъ общее...

— Нѣтъ озеро намъ.

— А какую же я воду буду пить?...

— Ты плати, и тѣ пусть платятъ.

— Не надо. Они опоганятъ озеро.

— Помилуйте, братцы, вода проточная... А я вамъ за работу хлѣбъ буду давать. Коли хотите, начальниками надъ работами сдѣлаю васъ.

— Нѣтъ, ты совсѣмъ насъ всѣхъ отставь отъ работы.

— А тѣ-то грѣшнѣе что ли васъ?.. Вотъ рѣшайте, кому изъ васъ быть управляющимъ моимъ, чтобы онъ управлялъ надо всѣмъ...

— Какимъ управляющимъ? Не хотимъ мы управляющихъ... Богъ у насъ управляющій.

Старики смекнули, что управляющимъ хорошо быть, но имъ не хотѣлось показать виду, что имъ хочется этой власти. Они хотѣли, чтобы владѣлецъ кланяясь просилъ ихъ. Владѣлецъ долго разговаривалъ съ ними ласково, но они больше молчали и перемигивались между собой, какъ будто говоря: не проведешь! Попросилъ онъ ихъ отобѣдать, но они не захотѣли ѣсть.

— Соглашайтесь. Управляющему я дамъ полную власть, потому что я не могу постоянно жить здѣсь.

— Надо съ міромъ посовѣтоваться.

— Тогда вы и дѣлайте, какъ знаете, съ своимъ управляющимъ. Я буду имѣть дѣло съ однимъ имъ, онъ одинъ будетъ отвѣчать за все. Главное, чтобы народъ не обижался, и мнѣ и царю можно было поблагодарить васъ.

— Надо міръ спросить.

Слободчане обрадовались такому рѣшенію. Но тутъ вышелъ маленькій безпорядокъ. Старшиной у нихъ былъ Кирилъ Филиповъ, ему бы по правиламъ ихъ секты и быть управляющимъ, но нашлось много стариковъ, которые сказали: что одному нельзя надо всѣмъ править: онъ старъ, нужно выбрать изъ себя по жеребью, чтобы никому не было обидно. Такъ и выбрали управляющаго изъ стариковъ Гаврилу Кирилова, а помощникомъ ему Илью Хлѣбникова.

Всѣ слободчане были грамотные, не исключая и взрослыхъ, и эта грамотность была у нихъ обязательная. Школы не было, а отецъ училъ сына или братъ брата. Но вся ихъ грамота заканчивалась тѣмъ, что они умѣли читать церковную печать, писали крупнымъ церковнымъ слогомъ. Несмотря на то, что они читали только свои каноны и сочиненія различныхъ поповъ, они быстро развивались и были очень толковый, разсудительный и неглупый народъ. Это произошло, можетъ-быть, оттого, что они часто сходились у кого-нибудь, разсуждали о дѣлахъ, касающихся религіи, причемъ каждый старался сказать такъ, чтобы уноровить всѣмъ; совѣтовались въ своихъ житейскихъ дѣлахъ, причемъ каждый опять-таки высказывалъ свое мнѣніе, какъ можно толковѣе и понятливѣе. Находясь подолгу на озерѣ и въ лѣсу поодиночкѣ, не ради молитвъ, а ради житейскихъ потребностей, они часто помногу думали, пѣли пѣсни своего сочиненія и при работѣ разсуждали сами съ собою вслухъ. Бывали даже и такіе изъ нихъ, которые сочиняли разныя молитвы, разные взгляды на религію, писали цѣлыя книги, которыя переходили въ наслѣдство и читались малоспособными ихъ товарищами. И при всемъ этомъ никто не гордился передъ другимъ. Напримѣръ, придетъ сосѣдъ къ сосѣду. Хозяинъ пишетъ.

— Помогай тебѣ Господь!

— Спасибо.

— Ну-ка прочитай.

Тотъ прочитаетъ.

— А ты вотъ что прибавь...

— И то!

Соберутся у сочинителя сосѣди вечеромъ и слушаютъ его сочиненіе, причемъ каждый проситъ прибавить его мнѣніе въ книгу. Послѣ чтенія начнутъ пляску или пѣніе.

Такіе люди были для владѣльца находка. Грамотныхъ людей въ то время трудно было найти, да если и найдется такой, то онъ непремѣнно плутъ и никакъ не пригоденъ на такое дѣло, какъ управлять заводскими людьми. Управляющій долженъ знать мѣста руды, научить какъ добывать ее, пріучить народъ къ работѣ и поэтому ладить съ ними. Нанимали въ управляющіе иностранцевъ, но эти иностранцы не знали языка крестьянъ, не умѣли и не хотѣли говорить съ ними; такихъ управляющихъ не слушались, такіе управляющіе были тираны народа и много воровали хозяйскаго добра. Поэтому, разумѣется, тутошній житель лучше всего можетъ быть управляющимъ; такъ и дѣлали многіе владѣльцы, да и теперь есть многіе такіе управляющіе. Здѣсь сохраняется больше интереса для владѣльца. Управляющій—заводскій человѣкъ, крѣ-

постной владѣльца, и его можно очень легко наказать; если онъ самъ будетъ надо всѣмъ присматривать, то хотя и наживется самъ много, но на сторону не позволитъ много утянуть. Съ рабочими людьми онъ умѣетъ объясняться, и рабочій его побоится болѣе, чѣмъ другого, и этотъ же рабочій скорѣе можетъ получить отъ него удовлетвореніе, чѣмъ отъ другого.

— Какъ же вы будете управлять? — спросилъ владѣлецъ Кирилова и Хлѣбникова. Вѣдь вамъ двоимъ не справиться.

— А что?

— Да я думаю, дѣла много.

— Дѣла много! Ужъ это наше дѣло. Только ты бы, боляринъ, этихъ другихъ-то убралъ.

— Не могу. Они мои люди.

— Зачѣмъ твои? Божьи, государевы...

— Мнѣ подарены. И вы всѣ мнѣ подарены.

Эти слова обидѣли слободчанъ, но они не показали виду, а сказали:

— А какъ же теперь: они люди твои, говоришь ты; а они скажутъ: мы люди свои? Какую мы власть имъ покажемъ...

— Какую знаете.

— Какъ же теперь это: у меня домъ, жена, дѣти... и это твое?

— Мое.

— А какъ же?

— А такъ же...

— А по-нашему: мы люди подначальные выходимъ; ну дома... А ты думаешь дома-то твои?

— Мои.

— Вотъ и врешь. Лѣсъ чей?

— Мой!

— Вотъ и врешь: лѣсъ Божій, царскій.

— А коли онъ мнѣ подаренъ:—значитъ, мой.

— А ты его родилъ? Ты что ли родилъ моихъ дѣтей?.. Ну-ко скажи, а мы послушаемъ.

Владѣлецъ не зналъ, что сказать. Ему хотѣлось закричать на своихъ подданныхъ, но онъ боялся, потому-что эти люди уйдутъ и уведутъ съ собою всю слободу.

— А ты, боляринъ, дай намъ государеву бумагу, чтобы намъ легче было людьми править...

— На что вамъ эта бумага?

— Не потеряемъ, небось.

Имъ хотѣлось бумагу имѣть для того, чтобы удостовѣриться, что это за человѣкъ такой, а вовторыхъ, чтобы удобнѣе дѣйствовать надъ людьми не ихъ секты, надъ проклятыми людьми, какъ они называли тѣхъ, которые начали строиться на проклятой ими землѣ.

Владѣлецъ показалъ имъ бумагу. Они письмо разбирали.

— Ты намъ дай,—міру надо показать.

— Мнѣ нужно.

— Подожди... Не дашь,—робить не будутъ.

Владѣлецъ кое-какъ далъ бумагу и при этомъ подарилъ выборныхъ богатыми дарами. Выборнымъ владѣлецъ понравился. Прочитали они грамоту передъ слободчанами; тѣ не повѣрили имъ, а заставили читать другихъ. Когда всѣ удостовѣрились, что они, дѣйствительно, принадлежатъ боярину, и земли отъ такой-то рѣчки до такого-то села или озера тоже принадлежатъ ему, они немного поворчали надъ чѣмъ-то и общимъ совѣтомъ рѣшили:

— Ну, коли это дѣло Божье—пусть такъ. Смотрите, вы безъ насъ ничего не дѣлайте,—сказало собраніе выборнымъ.

Выборные поклялись передъ всѣмъ народомъ, что они безъ согласья слободчанъ ничего не будутъ дѣлать и будутъ стараться о пользѣ ихъ и никакихъ новыхъ порядковъ въ слободѣ не будутъ вводить. Рѣшили также списать съ документа копію для слободы, предложить для подпису воеводѣ и самому владѣльцу.

— Кто его знаетъ, кто онъ. Можетъ, онъ и атаманъ разбойниковъ! Пусть ихный воевода подпишетъ—лучше!

Они раньше вывѣдывали въ ближнемъ городѣ про владѣльца у богатыхъ людей ихъ секты, и тѣ говорили, что точно ходитъ слухъ, что такой-то боляринъ пріобрѣлъ землю и людей. Такимъ образомъ слободчане имѣли копію для себя, и съ тѣхъ поръ озеро стало называться Осиновымъ, а слобода и строенія по обѣимъ сторонамъ озера Осиновскимъ заводомъ, а мѣстность, назначенная во владѣніе боярину, осиновскою и владѣльческою.

Довѣренные получили приказъ такого рода: принимать во владѣльческую мѣстность людей всякаго разбора и всякаго вѣроисповѣданія и въ вѣроисповѣданіи никого не стѣснять, для того, чтобы они не ушли назадъ. Если людямъ такой-то секты не хочется жить на одномъ мѣстѣ, селить ихъ на другія мѣста около рудниковъ и тамъ строить заводы.

Всякій человѣкъ можетъ рубить лѣсъ и строить домъ, и когда онъ водворится, записывать во владѣніе боярина и строго слѣдить, чтобы онъ не ушелъ. Два мѣсяца въ Осиновѣ пришедшимъ людямъ дозволяется строить дома, быть свободными отъ работъ, взять себѣ на такомъ-то пространствѣ столько-то земли для покосовъ и пашенъ, и въ это время слободчане должны справлять работу на владѣльца, а послѣ этого имъ дается свобода отъ работъ на годъ. Не дозволяется новоприбывшимъ людямъ строиться на слободѣ и имѣть покосы въ той сторонѣ. Слободчане работаютъ отдѣльно отъ прочихъ на мѣдныхъ рудникахъ, а на желѣзныхъ другіе. Когда руда пойдетъ, осиновцы всѣ вмѣстѣ или поочереди должны сдѣлать плотину, запрудить озеро и на рѣкѣ поставить фабрику на заводскій счетъ. Рабочій день для фабрики ставится для слободчанъ за три дня, для пришедшихъ за полтора дня рабочихъ дней.

Такъ и начали выборные изъ слободчанъ править новымъ заводомъ.

Сначала они составили совѣтъ, какъ имъ работать. Рѣшили, чтобы одна половина слободчанъ работала сначала у рудниковъ, а другая строила самую фабрику на рѣчкѣ, вытекавшей недалеко отъ озера. Рабочіе съ рудниковъ должны возить руду къ воображаемой фабрикѣ. Потомъ руднич-

ные рабочіе должны достроивать фабрику. Работать полагалось только днемъ, и такимъ образомъ, если кто будетъ нездоровъ, то онъ не наверстываетъ рабочихъ дней, такъ какъ по понятіямъ слободчанъ болѣзнь наказанье Господне. Если же кто не можетъ работать по какой-нибудь нуждѣ, тотъ долженъ наверстать свой день въ другой разъ, т. е. вмѣсто шести дней работать еще одинъ. Наказаній никакихъ, кромѣ этого, не полагалось. Въ праздники работы были строго запрещены. Дѣти отъ 12 лѣтъ должны были тоже помогать отцамъ.

Скоро слободчане состроили деревянную фабрику и принялись за растопку металловъ, но у нихъ выходило мало руды, и эта руда большею частію поступала въ достояніе слободчанъ. Всѣ слободчане, даже незанятыя женщины принялись за новое ремесло, и всѣ пріобрѣли себѣ немало мѣди, которую они сбывали въ городѣ богатымъ сектаторамъ за хорошія деньги, которыя потомъ зарывали въ свои подземелья. Управляемые своими стариками, слободчане справляли работу шутя; она была для нихъ развлеченіемъ, и всякій старался нажить себѣ капиталъ. Сплавятъ партіи руду, соберутся всѣ вмѣстѣ и дѣлятъ.

— Поровну, други.

— Дѣло!

Отдѣлятъ владѣльцу пудъ, а на слободу возьмутъ десять пудовъ и потомъ дѣлятъ поровну. Такъ какъ имъ всѣмъ нельзя было уѣзжать изъ слободы въ городъ за продажею металла, то они посылали туда троихъ вѣрныхъ людей. Такимъ образомъ жить имъ было можно. Когда же прошелъ срокъ ихъ работѣ, они и тутъ напустились на мѣдную руду и около нея завели свою фабрику. Новозаводчане назначены были добывать желѣзо, дѣлать плотину, строить для владѣльца большой домъ и они должны были работать всѣ, кромѣ женщинъ, цѣлый день, а если кто не работалъ недѣлю, на того налагались самыя трудныя работы.

Житье новозаводчанъ поначалу было очень незавидное. Всѣ они состояли изъ людей бѣдныхъ, раскольниковъ поповщинской секты, пробивавшихся то грабежемъ, то кое-какъ.

Какъ только они заслышали, что такіе-то люди зовутъ къ себѣ рабочихъ, что они будутъ имѣть богатыя земли, много денегъ, они изъ далекихъ мѣстъ шли на эту новую землю.

Съ ними обошлись хорошо и велѣли имъ строиться и выбирать мѣсто для покосовъ, и при этомъ сказали имъ, что они должны работать на владѣльца, за что будутъ получать муку, и должны слушаться тѣхъ, кто будетъ распоряжаться ими. Эти переселенцы скоро построили себѣ дома и съ охотой принялись за новую работу всѣ заразъ. Они работали по указанію старшинъ слободскихъ и работали дружно своими партіями. Управляющій и его помощникъ строго слѣдили за ними, и такъ какъ они не могли за всѣмъ усмотрѣть, то назначили изъ своей слободы разныхъ нарядчиковъ и смотрителей за новослободчанами, которые крѣпко напали на нихъ, вели себя гордо и съ ними не хотѣли имѣть знакомствъ.

Кромѣ этого, весь судъ и вся расправа была заведена въ старой слободѣ, и этотъ судъ и расправа и все начальство старослободское было въ тягость новослободчанамъ. Новослободчане не могли украсть изъ фабрики ничего, и воровали только самые храбрые; имъ давали только небольшое количество руды для промѣна ея на хлѣбъ и за эту руду заставляли работать лишній день. Старослободчане ввели обязательное число уроковъ: такъ напр., каждый долженъ былъ добыть руды не меньше пуда въ день, и если руды не было, новослободчанъ заставляли во что бы то ни стало добыть столько-то руды. Новослободчане дѣлали свои сходки, забирались по ночамъ въ старую слободу, грабили тамъ, убивали, и дошло до того, что половина разбѣжалась въ другія мѣста, а остальная не стала работать. Началась вражда двухъ партій: новослободчане никакъ не хотѣли работать, грабили, не слушались, а такъ какъ ихъ было больше старослободчанъ, то старослободчане ничего не могли сдѣлать съ ними. Старослободчане всячески старались избавиться отъ такихъ опасныхъ сосѣдей, завели раздѣлъ, и не проходило ни одного дня, чтобы не было убійства въ старой слободѣ. Работы остановились; фабрику новозаводчане сожгли, плотину сломали.

На озерѣ нельзя было показаться ни старослободчанамъ, ни новослободчанамъ.

Поѣхалъ къ владѣльцу Илья Хлѣбниковъ. Владѣлецъ обругалъ его за неумѣлость и поѣхалъ съ нимъ въ свои владѣнія, взявъ съ собой двухъ опытныхъ иностранцевъ въ горномъ дѣлѣ. Одинъ изъ этихъ иностранцевъ долженъ былъ слѣдить за всѣми осиновцами, а другой надсматривать за работами, а оба учить осиновцевъ горному дѣлу, потому-что осиновцы плохо умѣли вырабатывать желѣзо и руду. Новозаводчане подали ему жалобу на старозаводчанъ. Управляющаго и его помощника смѣнили, а къ новымъ управляющимъ причислили военныхъ людей для охраненія собственности владѣльца.

Нѣсколько лѣтъ работы шли плохо. Иностранцевъ плохо слушали, обманывали старослободчане, и тѣ же старослободчане умѣли поддѣлаться къ иностранцамъ такъ, что всю власть забрали себѣ. Такъ изъ старослободчанъ были нарядчики, мастера, уставщики, смотрители и прочіе понукатели рабочихъ; старослободчане, попрежнему, отлынивали отъ работъ, попрежнему, воровали и притѣсняли рабочихъ изъ новой слободы, которымъ они страшно мстили за грабежи и убійства. Новые управители иностранцы не входили въ дѣло осиновцевъ, а требовали только, чтобы столько-то было выплавлено руды и столько-то сдѣлано было изъ нея вещей. Старослободчане зорко слѣдили за дѣйствіями управляющихъ, дѣлали такъ, что они безъ нихъ ничего не могли сдѣлать, ни приказать, ни украсть; управляющіе совсѣмъ довѣрились старослободскимъ старикамъ, которые во всемъ уре-

зонивали ихъ. Старослободчане жили хорошо, а новослободчане бѣдствовали, бѣгали изъ завода и изъ рудниковъ; за кражу и убійства новослободчанъ ссылали въ Сибирь, старослободчане умѣли отпираться. Но при всемъ этомъ старослободчане ненавидѣли иностранцевъ-управляющихъ. Имъ хотѣлось однимъ наживаться и имѣть начальство, чтобы какъ-нибудь вытѣснить враждующую съ ними партію, и они искали только случая вытѣснить изъ завода даже самихъ иностранцевъ, которые крѣпко наживались и которымъ они много платили. Случая этого они дождались-таки. Управляющимъ очень надоѣли жалобы новозаводчанъ на старослободчанъ и они, съ разрѣшенія владѣльца, сдѣлали для обѣихъ слободъ особую расправу, назначивъ начальниковъ изъ ихъ обществъ, и въ рѣшеніи всѣхъ споровъ приняли начальство сами. Всѣ споры по этимъ слободамъ стали рѣшаться по волѣ управляющихъ: двѣ партіи работали отдѣльно и все-таки сталкивались и заводили ссоры, бунты и неистовство и получали возмездіе отъ управляющихъ, которые судили по своему взгляду. Старослободчане этимъ обидѣлись и выпросили себѣ все озеро, старались запутать управляющаго въ дѣлахъ, касающихся всѣхъ подданныхъ болярина. Управляющіе запутались, стали совѣтоваться со стариками.

— Не наше дѣло, — сказали они. — Суди по Божьему закону.

— Коли насъ не спросили, сами виноваты! Такъ осиновцы долго управлялись, враждуя другъ съ другомъ. Старослободчане черезъ свою слободу не пропускали ни одного новозаводчанина и сами черезъ ихъ слободу не хотѣли ходить. Для этого и для проѣзда въ городъ они проложили особую дорогу изъ своей слободы; не дозволяли плавать по озеру новозаводчанамъ, и, если кто плавалъ, съ тѣмъ завязывались драки, часто кончавшіяся убійствомъ. Ни старозаводчане, ни новозаводчане другъ съ другомъ не роднились и, стало быть, между ними не было никакихъ любовныхъ поможденій.

При своемъ судѣ они дѣлали, что хотѣли, задабривая управляющихъ и умѣя уговорить ихъ и наживались болѣе новозаводчанъ. Имѣя болѣе свободнаго времени, они часто ѣздили въ ближній городъ, куда сбывали разныя произведенія своихъ рукъ и оттуда, отъ купцовъ брали разные заказы. Сближеніе бывало только тогда, когда грузили металлы на барки, но и тутъ безъ драки никогда не обходилось.

Управляющіе глубоко запустили свои лапы въ имѣніе своего владѣльца такъ, что старозаводчане завопили. Они послали своихъ выборныхъ къ владѣльцу съ описаніемъ, сколько въ теченіе года добывается руды, сколько изъ нея выдѣлывается матеріаловъ, и сколько ворують управляющіе, но при этомъ, какъ водится, себя похвалили, разсказавъ, что изъ нихъ всѣ довольны имъ, потому-де что у насъ рабочіе хорошіе люди, и всѣ мы дѣлаемъ сообща, а новослободчане лѣнятся, задобриваютъ управляющихъ, которые людей совсѣмъ распустили и со всѣхъ берутъ дань. Владѣлецъ возмутился такимъ доносомъ и для сохраненія своихъ интересовъ поѣхалъ самъ управлять имѣніемъ, взявъ для этого съ собой нѣсколько опытныхъ мастеровъ горнаго дѣла и разныхъ дѣловыхъ людей собственно для письменныхъ дѣлъ. Онъ крѣпко взялся за управленіе, отстранивъ отъ всякой власти старозаводчанъ и для всѣхъ установилъ общій судъ. Въ нѣсколько лѣтъ его управленія онъ выстроилъ нынѣшную плотину, началъ строить огромныя фабрики, дома, церкви, и народъ при его управленіи жилъ хорошо.

Этотъ владѣлецъ былъ уже четвертый, т. е. внукъ перваго владѣльца, человѣкъ богатый, занимавшій почетную должность въ государствѣ. Онъ любилъ наживать деньги, и такъ какъ онъ въ своихъ горныхъ заводахъ видѣлъ пользы болѣе для себя, чѣмъ на службѣ, то и взялся самъ за управленіе имѣніями. Отъ того, что онъ самъ слѣдилъ за всѣмъ, не давалъ поблажки должностнымъ лицамъ и разрѣшилъ свободный доступъ къ себѣ всѣмъ, онъ получалъ большіе барыши и отъ металловъ и отъ его людей. Своихъ людей онъ не стѣснялъ и съ перваго раза, наперекоръ старослободчанамъ, уравнялъ уроки обѣихъ партій, и хотя старослободчане сначала крѣпко уперлись въ слободѣ, говоря, что они не станутъ работать, но онъ умѣлъ припугнуть ихъ и заставить хоть какъ-нибудь работать. Онъ сказалъ имъ: если вы не хотите работать, то я васъ всѣхъ сначала посажу въ острогъ, а потомъ сошлю въ Сибирь; но знайте, что вы никуда не уйдете далеко, и все ваше имѣніе, наворованное изъ моихъ владѣній, будетъ мое.

Старослободчане сначала посмѣялись этому, собрали совѣтъ, что дѣлать. На этомъ совѣтѣ ничего не вышло толковаго: одни говорили: надо уйти, другіе—владѣлецъ вретъ, пугаетъ, третьи—разстаться не хочется съ этимъ мѣстомъ, четвертые говорили, что «поробимъ, можетъ, и опять будетъ наше».

Но въ сущности работать вообще со всѣми осиновцами никому не хотѣлось, во-первыхъ, изъ вражды къ нимъ, а во-вторыхъ, и потому, «какъ можно робить съ ними: мы начальство имѣли»... Нашлись даже люди такихъ мнѣній, которые попрекали стариковъ, что они нажили деньги и теперь бросили ихъ, и громко сѣтовали, что эти старики не стоили быть начальниками. Общаго совѣта не состоялось; старослободчане сначала не шли на работу, къ нимъ пришли солдаты и тѣхъ, которые не хотѣли работать, переловили и пересажали въ острогъ; большинство согласились работать и выпросили себѣ опять-таки нѣкоторыя льготы. Для того, чтобы старослободчане не убѣгали изъ слободы, къ нимъ поставили стражу изъ новозаводчанъ, и эта же стража охраняла владѣльческій лѣсъ, какъ для того, чтобы они не дѣлали тамъ скитовъ, такъ и для того, чтобы они не рубили и не жгли лѣсъ. А старослободчане рубили лѣсъ изъ дачъ владѣльца, своего лѣсу не трогали и рубили его для продажи въ городѣ, куда они возили бревна и дрова или весной сплавляли внизъ по рѣкѣ бревна. Лѣсъ они

жгли для того, чтобы имъ разрѣшили рубить пальникъ и этотъ пальникъ они могли свободно продавать на сторону. Владѣльцу хотѣлось, чтобы старослободчане построили у себя единовѣрческую церковь; но они, когда начали строить новослободчане деревянную церковь въ ихъ слободѣ, разсудили, что старослободчане люди разныхъ сектъ и сочли это за посрамленіе. Они построили свой скитъ въ лѣсу и ѣздили туда молиться, потому что полиція, желая искоренить ихъ секту и принудить ихъ перейти въ православіе, часто ловила цѣлыми кучами старослободчанъ въ ихъ молельняхъ. Старослободчане крѣпко уперлись въ своихъ убѣжденіяхъ, ни за какія блага не хотѣли перейти ни въ православіе, ни въ единовѣріе; за это на нихъ стали налагать большія работы; они бѣгали, воровали, убивали и все-таки скрывались въ своихъ домахъ и сожгли церковь такъ ловко, что ни одинъ домъ, кромѣ нея, не сгорѣлъ. Старослободчане стали крѣпко пошаливать и надоѣдать новослободчанамъ то воровствомъ, то убійствами; открылись изъ нихъ дѣлатели кредитныхъ билетовъ и денегъ. Стали ловить старослободчанъ и сажать въ острогъ. Но старослободчане, всегда аккуратные, начальству не поддавались, и въ ихъ домахъ не находили ничего подозрительнаго.

Современемъ старослободчане сдѣлались пугаломъ для всѣхъ осиновцевъ. Владѣльцы, во избѣжаніе убійствъ, раздѣлили озеро пополамъ, такъ что одна половина сдѣлалась старослободчанъ, а другая новослободчанъ; убійства стали прекращаться, но старослободчане всячески старались затѣять ссору съ новослободчанами, безнаказанно плавали на другую сторону и не давали покоя рыболовамъ. Стали выселять старослободчанъ на другіе заводы и рудники; они бѣгали оттуда и скрывались у своихъ родственниковъ. Стали придумывать мѣры къ ихъ исправленію и цѣлыя сорокъ лѣтъ мучились съ ними, губили ихъ и ничего не сдѣлали,— старослободчане сдѣлались отчаянными людьми, такими, что имъ нельзя было довѣрить никакую работу. Они всякія наказанія сносили; а у заводовладѣльца много власти: со своимъ человѣкомъ онъ можетъ сдѣлать все, что хочетъ. Итакъ, съ старозаводчанами ничего не могли сдѣлать, даже не могли ничего сдѣлать съ тѣми, которые сидѣли въ тюрьмѣ. Они сидѣли по пяти лѣтъ и не горевали: въ городѣ у нихъ были богатые знакомые, которые сильно хлопотали за нихъ. Больше всего ихъ сажали въ острогъ за секты, грабежи, убійства, и если дѣло было уже очень важное, то ихъ ссылали въ Сибирь, но большая часть оставалась въ сильномъ подозрѣніи или водворялась на другихъ мѣстахъ. Заводское управленіе не умѣло ладить съ этими людьми; оно требовало съ нихъ усиленной работы, а они не хотѣли робить, понукаемые наказаньями; ихъ обвиняли въ разныхъ преступленіяхъ, и бывало часто такъ, что всякая кража и убійство взводилось на старозаводчанъ, хотя это дѣлали и не они. Новозаводчане пользовались этимъ случаемъ, и осиновцы на большомъ пространствѣ славились за разбойниковъ, отъ которыхъ не было проѣзда богатымъ людямъ по большимъ дорогамъ...

Со временемъ старослободчанъ, вслѣдствіе ихъ ловкости, меньше стали притѣснять и потомъ при одномъ управляющемъ совсѣмъ попустились имъ, отнявъ покосы и не давая провіанту. Кто воровалъ, того садили въ полицію, а потомъ въ острогъ. Настало время, что воровать, грабить, убивать и бѣгать было трудно; и старослободчане мало-помалу стали работать на господина. Богъ знаетъ, чѣмъ бы покончили съ собой старослободчане, если бы не поступилъ управляющимъ Егоръ Гаврилычъ Макаровъ.

На Западѣ.

РАЗСКАЗЪ ДОКТОРА.

По окончаніи курса въ академіи, меня, какъ стипендіата, обязаннаго прослужить военному вѣдомству семь лѣтъ, послали младшимъ ординаторомъ въ военный госпиталь, находящійся въ одной изъ крѣпостей Западнаго края. Прогоновъ мнѣ выдано по положенію 54 руб. съ коп. Ну и поѣхалъ я съ женой.

По желѣзной дорогѣ мы ѣхали ровно полторы сутокъ, хотя поѣздъ и раздавилъ какую-то бабу, стоявшую на рельсахъ, и раза два стоялъ по часу въ полѣ.

Разскажу вамъ, читатели, сперва свои дорожныя впечатлѣнія, а потомъ и жизнь въ этомъ убогомъ краѣ.

Въ полторы сутокъ я со своей дрожайшей половиной прокатился тысячу верстъ и признаюсь, что къ концу поѣздки мнѣ стало и скучновато и тошновато: оттого, во-первыхъ, что я ѣхалъ все дальше и дальше отъ Петербурга, отъ центра всеобщей дѣятельности, въ край забитый какъ въ умственномъ, такъ и въ матеріальномъ отношеніи,—край, находящійся на военномъ положеніи и по сей день, гдѣ недавно въ этихъ лѣсахъ проливалась кровь и вѣшались люди; а во-вторыхъ, самая публика въ вагонѣ состояла преимущественно изъ военныхъ и евреевъ, которые, т. е. евреи, надоѣдали своими стонами въ лунную ночь (они молились на луну). Положимъ, этотъ стонъ ничего, но какъ-то непріятно было видѣть, ихъ неряшливость; кромѣ того, отъ всѣхъ евреевъ и евреекъ разило страшно чеснокомъ. Евреи голосили по-польски, еврейски, а чѣмъ дальше мы ѣхали вся публика, кромѣ солдатъ, въ первый разъ, какъ и я, ѣдущихъ на службу, уже говорили по-польски. По правдѣ сказать, ѣхать было скучно, говорить не съ кѣмъ. Евреи толкуютъ о своихъ дѣлахъ, но я однако замѣтилъ, что этотъ народъ здѣсь чувствуетъ, что онъ дома: онъ болтливъ, смотритъ плутовато-самоувѣренно, говоритъ положительно-лукаво, въ немъ проглядываетъ какая-то самостоятельность и больше свободы въ дѣйствіяхъ, такъ какъ онъ, напр., безъ стѣсненія справляетъ свои молитвы въ вагонѣ, обматывая руку ремнемъ, надѣвая на лобъ коробочку и на себя какую-то

полосатую тряпку, свободно курить махорку, а то и сигары, безцеремонно плюя ежеминутно направо и налѣво и передъ собой, такъ что тамъ, гдѣ сидитъ еврей, непремѣнно лужа... Также, еще забылъ я сказать, они носятъ пейсики; кто въ четверть, кто даже и въ поларшина. Они, повидимому, нисколько не стѣсняются русскихъ. Такъ за семь станцій до конца моего путешествія, сидѣвшій напротивъ меня толстякъ еврей съ рыжей бородой, улыбаясь и наколачивая трубку, спросилъ:

— На службу панъ ѣдетъ?

— Да,—отвѣтилъ я.

— Докторъ?

— Да.

— Яко жалованье?

Я сказалъ.

Онъ покачалъ головой.

— Что развѣ нельзя на это жалованье жить?

— Это, пани, васа зена?

Я отвѣтилъ.

Тутъ онъ обрисовалъ мнѣ въ короткихъ словахъ, что если я не имѣю денегъ, то цесные евреи мнѣ повѣрятъ, если и я буду честенъ; что жить можно, не обманывая евреевъ; что безъ евреевъ я пропаду, много задолжаю и со стыдомъ долженъ буду уѣхать назадъ!

— А русскихъ развѣ тамъ нѣтъ?

— Э! русскій безъ цеснаго жида пропалъ!

— Почему?

— Пропалъ и концено! Потому въ городѣ торгуютъ все жиды, а вы будете жить въ крѣпости, гдѣ торгуетъ маркитантъ и беретъ вдвое дороже, чѣмъ берутъ евреи. А городъ стоитъ въ полуторахъ верстахъ за крѣпостью, до госпиталя будетъ ходьбы тоже, пожалуй, полторы версты.

Спросилъ я его, какъ живутъ здѣсь люди. Онъ сказалъ, что плохо; настоящихъ помѣщиковъ мало, помѣстья большею частью конфискованы и отдаются на аренду чиновникамъ, которые отдаютъ ихъ большею частью евреямъ, т. е. евреи берутъ ихъ по контрактамъ себѣ; чиновники по устройству крестьянъ почти ничего не дѣлаютъ и деньги берутъ, кутятъ и проживаются, на утѣху и пользу евреямъ, а если что и дѣлаютъ, то путаютъ, и ихъ или гонятъ долой съ должностей, или они ни съ чѣмъ удираютъ во-свояси, такъ что теперь уже немного осталось тѣхъ, которые пріѣхали сначала вызова на службу въ край.

Даже въ еврейкахъ я замѣтилъ больше смышленности и самостоятельности, чѣмъ въ русской мѣщанкѣ. Она, если сидитъ съ еврейкой, непремѣнно болтаетъ безъ устали о торговлѣ, о товарахъ, о скотѣ, о какой-нибудь женщинѣ негодяйкѣ, горѣ, несчастьи и т. п. Жена моя познакомилась съ сосѣдкой. Оказалось, что всѣ еврейки торговки и пріучаются къ этому еще съ дѣтства. Какъ и чѣмъ они торгуютъ, еврейка отвѣтила лаконически-бойко: всѣмъ! что насъ очень насмѣшило, потому что казалось невѣроятнымъ, чтобъ «всѣ» еврейки торговали «всѣмъ».

Я сказалъ раньше, что кромѣ евреевъ съ нами ѣхали и русскіе чиновники, говорившіе по-польски. Люди эти и молодые и пожилые, такъ что ихъ какъ-то жалко становится; это какой-то вялосонной неразговорчивый народъ съ не идущимъ къ лицу гоноромъ, такъ что они какъ-то свысока смотрятъ на новаго человѣка, съ презрѣніемъ на евреевъ, съ заискиваніемъ на поляковъ, которые сидятъ отдѣльно, больше молчатъ, а если говорятъ, то о прошломъ посѣвѣ, сѣнокосахъ, картофелѣ и т. п. Попробовалъ было я заговорить съ однимъ изъ чиновниковъ, говорящихъ по-польски. Сдѣлалъ я это такъ: подошелъ къ нему закурить папироску.

— Вы въ здѣшнихъ краяхъ служите?

— Да. А вы?

— Я только ѣду. А что у васъ хорошо жить?

— Э! просто бѣда. Я служу годъ посредникомъ и совсѣмъ измучился: кругомъ жиды.

— А крестьяне?

— О! Это какіе-то орангутанги, уроды, пьяницы, люди совсѣмъ забитые.

На этомъ мы и кончили разговоръ, потому-что онъ полѣзъ за саквояжемъ, а потомъ поѣхали на станцію, съ которой онъ и исчезъ.

По пріѣздѣ въ В., откуда я долженъ былъ ѣхать уже на лошадяхъ, я удивленъ былъ слѣдующимъ обстоятельствомъ, въ настоящее время уже не существующимъ: только что поѣздъ остановился у платформы, къ вагонамъ подошли жандармы. Хватили мы за ручку дверецъ — заперты, а евреи суетятся, вытаскивая какія-то засаленныя бумаги; на платформахъ же уже появляются пассажиры первоклассники и второклассники. Наконецъ, жандармъ отворилъ и нашъ вагонъ. Я вышелъ, за мной вышла жена.

— Паспортъ?—спросилъ онъ.

Я подалъ подорожную. Между тѣмъ какъ я вытаскивалъ паспортъ, жена моя направилась къ вокзалу третьяго класса. Но жандармъ схватилъ ее за рукавъ салопа.

— Куда? Паспортъ пожалуйте.

— Это моя жена.

— Паспортъ пожалуйте,—проговорилъ онъ внушительно.

Дѣло дошло до жандармскаго офицера, но все-таки и онъ не повѣрилъ; такъ какъ у меня съ собою никакихъ доказательствъ, что эта женщина мнѣ жена, не было, бумаги же о бракѣ хранились въ чемоданѣ, который находился въ багажѣ, то жену отправили въ полицію, а я долженъ былъ итти съ прочими туда, куда они шли. Мы вошли въ большую комнату, биткомъ набитую пассажирами, изъ которой никого не выпускали. Гвалтъ шелъ неописанный, хуже, чѣмъ на рынкѣ или въ театральныхъ курильняхъ, хотя здѣсь было такъ же душно отъ табачнаго дыма, какъ и въ театрѣ. Привычные къ подобнымъ вещамъ пассажиры шли въ буфетъ, прочіе пробивались ближе къ загородкѣ, гдѣ полиція записывала паспорта и ставила клейма. У самой загородки стояли русскіе въ шубахъ, не то купцы, не то приказчики и острили надъ полицейскими, полицейскіе огрызались. Я на нихъ нѣсколько минутъ смотрѣлъ, и, признаюсь, они

нисколько не отличаются отъ нашихъ блюстителей порядка; заставятъ человѣка стоять, по-просту торчать на углу—торчитъ или дальше пяти саженей не пройдетъ съ позиціи; заставятъ на каланчѣ ходить—вертится, какъ лошадь на вороту въ соляныхъ варницахъ; заставятъ бумагу просмотрѣть, записать, клеймо положить — исполнитъ, но если сдѣлаетъ не въ порядкѣ, то протеста не приметъ. При мнѣ тутъ же былъ случай. Одинъ господинъ, выкликнутый по фамиліи, получивъ паспортъ, осмотрѣлъ эту бумагу и подошелъ къ старшему офицеру изъ полиціи.

— У меня не ясно клеймо положено,—сказалъ онъ.

— Что-о?—грозно спросилъ офицеръ, не поднявъ головы.

— Число не вышло.

— Не ваше дѣло.

— Мнѣ нужно сейчасъ ѣхать на желѣзную дорогу въ Т.

— Если вы будете разговаривать, я васъ отправлю въ полицію.

Бѣдняга такъ и ушелъ съ носомъ.

Билеты или паспорты и подорожныя получались такимъ образомъ: полиціантъ кричитъ:

— Панъ Хичинскій!

Поднимается изъ публики рука, это рука и беретъ свой документъ, а если стоитъ далеко, то кричитъ — «здѣсь!» и ему передаютъ уже другіе.

Наконецъ, и я освободился изъ заключенія. Жену я освободилъ только на другой день, и то съ большими препятствіями, и на пятый день пріѣхалъ въ городъ К. и немедленно поѣхалъ въ крѣпость дѣлать визиты.

Прескучная вещь эти визиты; надо напяливать мундиръ, покупать перчатки, нанимать извозчика и ѣхать знакомиться къ чужимъ людямъ, такъ сказать, насильно вторгаться къ нимъ. Нанялъ я фурманку—это родъ чухонскихъ пролетокъ, въ которую смѣло могутъ сѣсть двое и даже трое, но за то сидишь на полтора аршина отъ земли. Извозчики здѣсь преимущественно евреи и большею частію сами хозяева, жены же у нихъ—или торговки, или содержательницы шинковъ; есть еще извозчики изъ поляковъ и отставныхъ солдатъ, но ихъ мало.

Итакъ, пріѣхавши въ крѣпость, я отправился въ госпиталь, въ пріемную.

— А гдѣ дежурный докторъ?—спросилъ я солдата.

Солдатъ сдѣлалъ подъ козырекъ и сказалъ, что дежурный докторъ дома, спитъ.

Я замѣтилъ, что солдаты здѣсь выправлены и боятся офицеровъ, потому-что какъ только я что-нибудь спрашивалъ у солдата или онъ мнѣ отвѣчалъ, онъ держалъ ребромъ правую ладонь у виска. И это я замѣтилъ, когда ѣхалъ: кажется, разъ сто пришлось мнѣ поднять свою руку къ козырьку, чтобы отвѣтить солдатамъ и писарямъ на отдаваемую ими мнѣ честь. Здѣсь же, пока я проходилъ по коридору госпиталя и потомъ садомъ къ главному доктору, мнѣ положительно пришлось держать, не отнимая, свои два пальца у козырька. Я конфузился, краснѣлъ, сердился, хотѣлъ сказать солдатамъ: «не нужно», но не рѣшился.

Главный докторъ принялъ меня вѣжливо. Онъ хотя еще и не былъ дѣйствительнымъ, но уже носилъ пальто съ генеральскими погонами. Онъ оказался человѣкомъ образованнымъ, но написалъ ли онъ какую-нибудь хорошую книгу, кромѣ диссертаціи, этого я до сихъ поръ не знаю. Въ этихъ краяхъ онъ уже давно служитъ и такъ обжился, что уже тридцать лѣтъ не можетъ собраться въ Петербургъ. Кажется, ему можно бы, поэтому, ладить съ нѣмцами-докторами, но, какъ онъ говоритъ, не любитъ ихъ, а между тѣмъ служить съ ними надо, такъ какъ русскіе доктора не уживаются почему-то; и теперь русскихъ съ главнымъ докторомъ и его помощникомъ четверо, остальные же четверо нѣмцы, преимущественно изъ Дерпта и уроженцы Прибалтійскаго края, а не настоящіе пруссаки или германцы. Хотя они давно живутъ при госпиталѣ, но одинъ изъ нихъ даже ни бельмеса не знаетъ по-русски, кромѣ карашо, свинъ, да дуракъ.

— Вы по какой спеціальности?—спросилъ меня главный докторъ за чашкою кофе.

— Мнѣ все равно; я предоставляю вамъ самимъ назначить меня, въ какое угодно отдѣленіе.

— Но этого я не могу, потому что вы еще новичекъ. А вотъ присмотримся другъ къ другу, узнаемъ другъ друга... тогда... теперь же я вамъ хочу поручить хроническія болѣзни. Иконниковъ теперь завѣдуетъ ими. Онъ хорошій ординаторъ, но... знаете, не умѣетъ писать рецептовъ,—и онъ расхохотался.

Вотъ тебѣ и разъ! — думаю, хорошій ординаторъ, а рецептовъ писать не умѣетъ?! Хоть бы нѣмецъ, а то русскій. Обидно за своего брата. Ну, думаю, эдакъ и у меня найдетъ недостатки. Сталъ прощаться, замолвилъ о квартирѣ, велѣлъ итти къ смотрителю госпиталя.

Пошелъ къ русскому доктору Иконникову, котораго я знавалъ еще въ академіи. Я его засталъ дома. Онъ сидѣлъ на худенькомъ диванѣ въ форменномъ сюртукѣ, правда, не застегнутомъ на пуговицы, курилъ папироску и игралъ на гармоникѣ. Обстановка въ его трехъ комнатахъ незавидная: въ залѣ столъ, на которомъ, кромѣ пепельницы изъ черепа, лежала прошлогодняя книжка «Архива судебной медицины», кромѣ стола въ залѣ былъ диванъ и шесть стульевъ. Въ кабинетѣ его съ однимъ окномъ былъ столъ и одинъ стулъ, десятка три книгъ лежали въ углу, на окнѣ стояли маленькіе медицинскіе вѣсы, банки, склянки и ящичекъ. Третья комната была заперта, и оттуда слышался плачъ ребенка и люлюканье какой-то женщины съ польскимъ акцентомъ.

Иконниковъ встрѣтилъ меня, какъ водится, съ распростертыми объятіями; но я замѣтилъ въ его

лицѣ смущеніе, голосъ дрожалъ. Разговоръ начался съ того, что онъ очень радъ моему пріѣзду, какова дорога, гдѣ я останавливался и что новаго у насъ въ академіи. Затѣмъ онъ замолчалъ; говорить, какъ я замѣтилъ, ему было не о чемъ; казалось, онъ какъ будто притупился здѣсь, тогда какъ я прежде знавалъ его за яраго человѣка и кутилу. Повидимому, онъ ждалъ отъ меня вопросовъ.

— Что, хорошо здѣсь жить?—спросилъ я его.

— Каторга, а не житье.

— Что такъ?

— Во-первыхъ, жиды одолѣваютъ, потому что мы всѣ находимся въ ихъ рукахъ и отъ нихъ намъ нѣтъ проходу. Общества здѣсь нѣтъ никакого; русскихъ мало, да и тѣ, если не играешь въ карты, держатъ себя особнякомъ въ своемъ кружкѣ записныхъ игроковъ и пьяницъ. Правда, есть инженеры и артиллеристы—это образованнѣйшая часть нашей крѣпостной интеллигенціи, но и они какъ на насъ, такъ и на прочихъ смотрятъ свысока; большая же часть крѣпостной интеллигенціи—нѣмцы-прибалтійцы, тѣ уже положительно ненавидятъ русскихъ до того, что стараются, какъ можно, вытѣснить русскихъ.

— А городъ?

— О вы еще не знаете разницы между крѣпостью и городомъ. Городъ живетъ своею жизнью и хвастается своею жизнью, которая пополняется разными поборами съ жидовъ.

— А гласные суды?

— О! У насъ ихъ нѣтъ, нѣтъ и земства. У насъ все на военномъ положеніи. Крѣпостные же офицеры считаютъ себя выше горожанъ и умнѣе ихъ. Итакъ между крѣпостными офицерами и городскими чиновниками идетъ тайная вражда: городскіе чиновники завидуютъ офицерамъ, имѣющимъ казенныя квартиры и денщиковъ, получающимъ сносное жалованье и пользующимся преимуществами больше ихъ; крѣпостные же, считая себя, такъ сказать, хозяевами, презираютъ чиновниковъ, какъ не командующихъ надъ солдатами, такъ и не могущихъ въ городѣ, идя по мостовой, прогремѣть шпагой...

— Ну, а служба?

— Скверная! Нѣмцы-доктора русскихъ докторовъ терпѣть не могутъ. Видите, они считаютъ себя умнѣе, но зато, случается, залѣчиваютъ исправно.

— А главный докторъ?

Иконниковъ махнулъ рукой.

Я было хотѣлъ попросить его объяснить мнѣ его взмахъ руки, но дверь изъ прихожей отворилъ солдатъ, который и остановился на порогѣ. Сдѣлавъ подъ козырекъ, онъ отрапортовалъ:

— Больной прибылъ, в. б-діе!

— Хорошо. Иду.

— Больше ничего-съ?

— Ничего.

Солдатъ повернулся и ушелъ.

Мы пошли въ госпиталь. Идя садомъ и потомъ госпитальнымъ коридоромъ, въ которомъ очень пахло лѣкарствами и на полу котораго ничего не было постлано, мы должны были безпрестанно поднимать правую руку къ виску. Иконниковъ, казалось, уже привыкъ къ этому; онъ нѣкоторыхъ даже и не отвѣтствовалъ, а, замѣтивъ солдата, отворачивалъ голову и смотрѣлъ въ сторону.

— Какъ вамъ нравится отдаваніе чести?—спросилъ я его.

— Надоѣло. А все-таки нельзя — надо. Еще, пожалуй, на гауптвахту угодишь. И вамъ придется дѣлать то же.

Мы вошли въ пріемный покой. Тамъ на лавкѣ сидѣлъ невзрачный солдатъ. При входѣ нашемъ онъ быстро всталъ, вытянулся въ струнку и поднялъ руку, куда слѣдуетъ, и въ такомъ положеніи оставался все время.

— Что болитъ?

— Животъ, в. б-діе!—отчеканилъ онъ по-солдатски.

Иконниковъ пощупалъ пульсъ.

— Ты, я вижу, полежать хочешь.

— Никакъ нѣтъ-съ, в. б-діе.

— Ну хорошо. Садись.

Солдатъ не сѣлъ, и когда Иконниковъ къ нему обращался съ вопросомъ, онъ вмигъ поднималъ руку.

Порѣшивъ съ солдатомъ, т. е. записавъ его въ хроническіе больные, Иконниковъ пригласилъ меня на чашку кофе и на рюмку водки, отчего я не отказался.

Теперь я засталъ въ залѣ его жену—молодую женщину, недурную собой. Она была очень любезна, проста, но на первыхъ же порахъ огорошила меня: вдругъ спросила что-то по-французски, а я по-французски ни бельмеса. Сконфузился я страшно, еще того хуже было извиняться въ своемъ невѣжествѣ. Она, между прочимъ, сказала, что она артистка, т. е. участвуетъ въ здѣшнихъ спектаклятъ.

Отъ Иконникова я пошелъ по начальству: къ начальнику госпиталя и въ то же время командиру полка. Нѣмецъ принялъ меня очень вѣжливо, но тонъ командира такъ и сквозилъ въ его словахъ, притомъ же онъ былъ скученъ, надутъ и очень некрасивъ на лицо, похожее на моряка, и я удивляюсь, какъ это красивыя женщины, подобно его женѣ, притомъ имѣющія хорошее состояніе, прельщаются такими чудовищами человѣческаго рода? Вѣроятно, онѣ прельщаются чиномъ полковника, могущимъ выслужиться до генерала, и нѣсколькими орденами. Я его спросилъ насчетъ квартиры, онъ велѣлъ обратиться къ смотрителю госпиталя.

У смотрителя, пожилого человѣка, съ разбитными манерами, играли въ карты: помощникъ его, человѣкъ съ солдатскимъ выговоромъ, бухгалтеръ съ польскимъ выговоромъ и еще какой-то офицеръ съ мужиковатой физіономіей. Всѣ они были въ форменныхъ сюртукахъ. По хорошей мебели и обстановкѣ видно было сразу, что смотритель человѣкъ со средствами. На другомъ столѣ стояли бутылки, графины, а въ нѣсколькихъ тарелкахъ заключались разныя закуски, въ родѣ икры, сыра, грибовъ, маринованнаго угря и пр. Я представился обществу, извиняясь въ томъ, что помѣшалъ имъ играть.

— Э! помилуйте; мы играемъ по копейкѣ. Про-

шу покорно! и затѣмъ отрекомендовалъ мнѣ игравшихъ.

— Закусить пожалуйте,—проговорилъ хозяинъ.

Я отказался.

— Ну, у насъ этого нельзя. Пожалуйте! Вотъ стара вудка, это англійская, здѣсь хересъ, тутъ портвейнъ...

Я отказывался; помощникъ его съострилъ, что я красная дѣвушка. Пришлось выпить.

— Я васъ не отпущу: вы должны обѣдать у меня.

— Я не могу. Во-первыхъ, у меня въ городѣ жена, а во-вторыхъ, я еще не всѣмъ дѣлалъ визиты—я былъ только у Иконникова.

— Ну, жена подождетъ, а дѣлать визиты нѣмцамъ не для чего. Это такой народъ, что... А вотъ къ батюшкѣ не мѣшаетъ вамъ сходить: онъ человѣкъ прекрасный и можетъ пригодиться вамъ.

Это меня озадачило, и я, чтобы порѣшить съ квартирой, теперь же сталъ его просить объ этомъ предметѣ.

— Если останетесь обѣдать, сейчасъ отведу квартиру.

Я рѣшительно отказался.

— Ну, дѣлать нечего, спесивый вы человѣкъ! А ужъ мы къ вамъ на пирогъ придемъ. Ужъ у насъ такой обычай: здѣсь вѣдь не Россія, а Польша,—и онъ попросилъ меня итти за нимъ смотрѣть квартиру.

Дорогой смотритель объяснялъ мнѣ мѣстоположеніе госпиталя и зданія, къ нему прилегающія.

— Здѣсь былъ костелъ, говорилъ онъ, указывая на госпиталь, а въ томъ зданіи, гдѣ я живу, помѣщалось епископство. Но это было давно, костелъ срытъ, а епископство уцѣлѣло въ своемъ первоначальномъ видѣ. Вы, я думаю, замѣтили, какія въ нашемъ зданіи стѣны—бомбой не пробьешь. Вверху еще сносно, т. е. не такъ мрачно, но внизу понадѣланы клѣтушки, которыя имѣютъ видъ келій. Я думаю, тутъ не одинъ монахъ подохъ въ заточеніи. Когда мы обогнули госпиталь, смотритель указалъ на длинное двухъ-этажное зданіе. Это, сказалъ онъ, инженерный домъ. Тутъ все живутъ инженеры—пять семействъ, да еще садовникъ, который почти ничего не дѣлаетъ и только стрѣляетъ дичь. Вотъ слышите—онъ трубитъ: это онъ собаку кличетъ. Эти же зданія, окружающія нашъ садъ, прежде принадлежали училищу и до сихъ поръ называются «корпусомъ», такъ что есть евреи въ городѣ, которые слова «госпиталь» не знаютъ, а скажите имъ въ корпусъ—знаютъ. Вотъ въ этихъ-то и помѣщаются доктора, контора, аптека, прачечная и баня. Самая же мѣстность, занимаемая госпиталемъ и крѣпостью, прежде составляла городъ, который теперь находится, какъ вы знаете, въ полуторахъ верстахъ отсюда,—словомъ, гдѣ вы остановились. Вотъ тутъ нашъ батюшка живетъ. Зайдемте.

— Пожалуй.

Но батюшка, послѣ трапезы, почивалъ.

Квартира, мнѣ назначенная, состоитъ изъ трехъ комнатъ, кухни и прихожей. Средняя комната такой же величины, какъ у Иконникова, другія поменьше. Одно окно выходитъ какъ разъ на стѣну дома, въ которомъ живутъ инженеры, остальныя во дворъ.

— Нѣтъ ли у васъ квартиры напротивъ сада?

— Нѣтъ. Да вамъ вѣдь все-равно: стоитъ только спуститься, да перейти дорогу—вотъ и садъ. А садъ у насъ хорошъ, орѣховъ сколько—чудо!

— А огороды у васъ есть?

— Нѣтъ. Здѣсь земля принадлежитъ инженерамъ, и они ею распоряжаются, какъ имъ вздумается. Впрочемъ, акушерка да бухгалтеръ занимаются этимъ, но отъ первой я думаю отнять огородъ.

— Когда я могу въѣзжать?

— Хоть сейчасъ. Денщика я вамъ назначу завтра.

Я распростился и ушелъ. Надо замѣтить, что на всемъ пространствѣ, гдѣ госпиталь и сады, извозчиковъ нѣтъ, а они стоятъ во дворѣ цитадели, напротивъ комендантскаго дома, такъ что нужно пройти два сада, мостикъ черезъ канаву и попасть въ цитадель. Черезъ крѣпость идутъ два пути въ разныя мѣста, и поэтому я, идя по шоссе къ цитадели, замѣтилъ нѣсколько фургоновъ огромнаго размѣра, которые были запряжены четырьмя и болѣе волами; подойдя къ мосту, у котораго написано: «запрещается ѣздить въ четыре лошади», возчики-евреи или крестьяне—распрягаютъ одного вола, кричатъ, бьютъ остальныхъ.

Гвалтъ происходитъ неописанный, солдаты изъ будокъ тоже ругаются и машутъ на возчиковъ палками. Тамъ и сямъ копошатся арестанты въ сѣрыхъ курткахъ, въ сѣрыхъ шапкахъ съ чернымъ подобіемъ буквы х на верхушкѣ ихъ; но нельзя сказать, чтобы они работали усердно или какъ слѣдуетъ: они какъ-то лѣниво дѣйствуютъ лопатами, останавливаются, разговариваютъ, а если везутъ тачку, то нѣсколько человѣкъ вразъ. Солдаты, конвоирующіе ихъ, стоятъ или идутъ отъ нихъ на нѣсколько саженъ. Послѣ уже я узналъ, что вблизи арестантовъ солдатамъ находиться опасно, такъ какъ былъ случай, что они разъ убили конвойнаго лопатой, и съ тѣхъ поръ отданъ приказъ находиться отъ нихъ въ извѣстномъ разстояніи. При появленіи офицера они снимаютъ шапки и, разумѣется, нельзя сказать, чтобы эта честь происходила отъ чистаго сердца.

Когда я поѣхалъ на фурманкѣ, то замѣтилъ на площадкѣ, окруженной аллеей тополей и березъ, какое-то развалившееся зданіе, покрытое досками, около него лежала груда кирпичей.

— Что это такое?—спросилъ я извозчика-еврея.

— А это строили церковь, да она провалилась.

— Кто же строилъ?

— Архитекторъ такой былъ, в. б-діе. Давно ужъ; камень-то гніетъ.

Дома я засталъ свою жену въ слезахъ.

— Что съ тобою?—спросилъ я ее.

Она еще того хуже заплакала и со слезами высказала, что ее обидѣлъ хозяинъ гостиницы, обозвавъ ее «кацапкой» за то, что она очень требо-

*

вательна, а денегъ до моего прихода ни за Ѣ, ни за пищу не платитъ. Я пошелъ къ хозяину. Онъ въ своемъ еврейскомъ сюртукѣ и съ фуражкой на головѣ сидѣлъ у стола, курилъ лѣниво изъ длиннаго витого чубука, часто плевалъ, смотрѣлъ въ окно, и лѣниво перебирая листы съ конца тетради, что-то медленно въ нее вписывавалъ. Я подступилъ къ нему храбро. Онъ снялъ шапку, причемъ на головѣ у него появилась засаленная до черноты ермолка, и протянулъ руку. Я объяснилъ ему свой приходъ и сталъ требовать объясненій относительно его поведенія съ моей женой. Онъ выслушалъ, не перебивая, поглаживая свою бородку (у него пейсовъ нѣтъ), и потомъ вдругъ тоненькимъ голосомъ скороговоркой проговорилъ:

— Ай, какъ это пани не стыдно клеветать на цесный еврей! Ай, баринъ, не хорошъ цалавѣкъ, цо вѣритъ пани! Развѣ можно ругаться кацапомъ?.. Это нецесно, неблагородно, потому кацапъ мужикъ, чула.... Ай-ай!!

— Ты зубы-то не заговаривай! Вѣдь ты былъ въ моемъ номерѣ?

— Это тоцно, правда. Лопни глаза — былъ, а ругался не я. Я Шлёмка Пальковскій, а ругался, можетъ, другой,—можетъ, Мошка Хохлякъ.

— Кто такой Мошка Хохлякъ?

— А поцомъ я знаю. Можетъ, и Пашка Говорунъ: онъ настоящій кацапъ.

— Я буду жаловаться полиціи.

Еврей возвысилъ тонъ, надѣлъ фуражку, поглядѣлъ на меня съ презрѣніемъ и сѣлъ.

— Можете сколько угодно! Цеснаго еврея всегда оправдаютъ. Потомъ вскочивъ, подойдя ко мнѣ и колотя себя въ грудь правымъ кулакомъ, проговорилъ съ яростью: до пану нужно-о? панъ обидѣлъ цеснаго еврея! Цесный еврей имѣетъ два дома, винный погребъ, табачную фабрику, двадцать извозчиковъ... Пана еврея въ В. знаютъ, на сто миль Шлёмка Пальковскій извѣстенъ. Къ Пальковскому, Богъ дастъ, самъ баринъ-докторъ придетъ съ поклономъ.... Проговоривши это съ блестящими глазами, хозяинъ сѣлъ и потомъ вѣжливо спросилъ:

— Баринъ, можетъ, хочетъ обѣдать?

Что мнѣ было дѣлать съ такимъ шутомъ? Я былъ разбитъ, оплеванъ и осрамленъ; я видѣлъ, что мои возраженія ни къ чему не поведутъ,—онъ наговоритъ дерзостей еще больше. Я велѣлъ подавать обѣдъ и пошелъ.

— И графинъ водки?—спросилъ меня хозяинъ, идя за мной.

— Нѣтъ, зачѣмъ? довольно рюмки.

— Нѣтъ, ужъ нельзя: въ графинѣ приличнѣе. Все не выпьете, вечеромъ выпьете. А пани, можетъ, хересу, мадеры, портвейну?...

— Рюмку портвейну.

Хозяинъ исчезъ.

Послѣ обѣда мы стали одѣваться: хотѣлось посмотрѣть на еврейскій городъ и поискать мебели, купить кой-какой посуды. А надо правду сказать, что я свои прогонныя деньги поистрясъ-таки порядочно. Получилъ я, какъ сказалъ раньше, пятьдесятъ четыре рубля съ копейками, изъ нихъ пятнадцать уплатилъ долги, въ дорогѣ издержано ровно сорокъ, такъ что я уже бралъ деньги у жены, да и у той наличныхъ теперь было рублей двадцать, а билетовъ внутренняго займа трогать не хотѣлось. Я думалъ, что на одну комнату куплю мебели дешево: вѣдь здѣсь не Питеръ, а провинція. Наконецъ, мы собрались; я ужъ надѣлъ фуражку, а жена платокъ, вдругъ въ комнату входитъ хозяинъ съ какимъ-то листомъ, который онъ тотчасъ же сложилъ и спряталъ въ боковой карманъ.

— Барину что-нибудь потреба?—спросилъ хозяинъ, лукаво оглядывая комнату.

— Нѣтъ, ничего не надо.

Еврей усмѣхнулся.

— Извините, безъ ничего какъ-зе мозно. Напримѣръ: кровать, стулья, столъ...

— Вы развѣ имѣете мебельный магазинъ?

— О, нѣтъ, зачѣмъ! Мы мебелью не торгуемъ.

— Такъ у васъ нѣтъ мебельныхъ магазиновъ?

— Нѣтъ! Мы дома продаемъ и по заказу дѣлаемъ.

— Но гдѣ же можно купить?

— О это, баринъ, пустое дѣло. Если вы хотите, я сейчасъ позову.

Онъ подошелъ къ двери, отворилъ ее и проговорилъ:

— Войди.

Въ комнату вошелъ низенькій съ рыжими пейсками и большой рыжей бородой въ рваномъ пальто, сгорбившійся еврей, съ такимъ плаксивымъ выраженіемъ, что, казалось, его кто-то сію минуту поколотилъ. Войдя, онъ медленно снялъ шапку, бокомъ поклонился, потянулъ лѣвый пейсъ и тотчасъ между нимъ и хозяиномъ завязался разговоръ, изъ котораго я, кромѣ панъ и пани, ничего не понялъ. Въ комнатѣ запахло чеснокомъ. Я потерялъ терпѣніе.

— Есть у тебя мебель?—спросилъ я еврея.

— Какъ-зе мозно безъ мебели, в. б-діе?

— Какая?

— Всякая!

— Ну, напримѣръ, зеркало есть?

— Все, что пану треба.

Я спросилъ его, сколько стоитъ шесть стульевъ, два стола, кровать, комодъ и зеркало.

— А не угодно ли посмотрѣть?—отвѣтилъ еврей.

— Однако приблизительно?

— Извольте посмотрѣть!

— Далеко живешь?

— Тутъ и есть.

Мы пошли. На улицѣ, евреи кишѣли, но преимущественно женщины и дѣвочки; мужчины же или стояли у лавокъ—кто съ сигарой, кто съ трубкой съ коротенькимъ чубукомъ, или шли медленно по одному, по два, крича во все горло, или бѣжали сломя голову. Женщины, по случаю холода, сидѣли на горшкахъ съ раскаленными или уже потухшими углями; нѣсколько женщинъ несли кто кувшинъ, кто узелъ, кто грудного ребенка на одной рукѣ и трехлѣтняго на другой. Голосили и женщины. У нѣсколькихъ изъ множества шинковъ стояли огромныя фуры съ кладью, запряженныя возами, а одна фура развалилась, и товары лежали

на снѣгу. Около нихъ топтались чулы (крестьяне) съ короткими чубуками въ зубахъ, ругались евреи, ругались и чулы; шинки въ этихъ мѣстахъ были переполнены чулами и евреями, изъ коихъ первые уже выходили пьяные. Не было дома, въ которомъ не было бы хотя двухъ лавокъ, въ которыхъ сидятъ преимущественно женщины. Нашего провожатаго то-и-дѣло останавливали, но онъ отвѣчалъ коротко, а изругался только разъ пять. Когда мы шли подъ филярами (здѣшній гостиный дворъ), то намъ не давали проходу, останавливая безъ церемоніи на каждомъ шагу и безъ стѣсненія тащили въ лавки, предлагая чай, сахаръ, табакъ и т. п. Мы шли долго; наконецъ, вышли въ тѣсный переулокъ, гдѣ не было ни мостовой, ни тротуара, и лавокъ уже было мало, и гдѣ, несмотря на холодъ, пахло чѣмъ-то прогнилымъ, въ родѣ протухлой рыбы.

— Скоро ли?—спросилъ я еврея, теряя терпѣніе.

— Зàразъ, зàразъ! (сейчасъ).

Однако мы еще долго шли. Наконецъ, мы подошли къ домику въ три окна съ крыльцомъ, но еврей ввелъ насъ во дворъ очень узкій, грязный, съ тѣсными, ветхими пристройками, въ которыхъ двери уже или висѣли только на верхнемъ шалнерѣ, или просто лежали на землѣ. Во дворѣ бродили свиньи, кабаны, стояла корова, гдѣ-то кричали курицы. Еврей попросилъ насъ подождать его во дворѣ, а самъ ушелъ въ какую-то клѣтушку, а потомъ повелъ насъ дальше въ какой-то сарай. Было темно; еврей зажегъ фанарь.

Въ этомъ сараѣ находилось нѣсколько штукъ разныхъ вещей: тутъ были поломанные стулья, два стола безъ ножекъ, кровать изъ ясневаго дерева, которую нужно было починить, ни къ чему непригодныя сани, дуга, какая-то не то вѣшалка, не то, Богъ знаетъ, что такое, и т. п.

— Гдѣ же сносныя вещи?—спросилъ я еврея.

— А стозе, васе благородіе, развѣ это не мебель?

— Да она никуда не годится.

— Осибается панъ: тутъ только надо ножку, тутъ кавалочекъ приклеить. Обижать изволите! Я могу все это обдѣлать къ завтрему.

— А сколько стоитъ кровать, дюжина стульевъ, комодъ?

— Мы много не возьмемъ! Дюжина стульевъ, вы сказали?

— Да.

— Семьдесятъ рублей.

Мы вышли.

— Стозе, ваше благородіе, обманывать вздумали?

Я сталъ оправдываться, но вышло хуже: во дворъ набралось нѣсколько человѣкъ евреевъ—одни изъ любопытства, другіе отъ нечего дѣлать. Коекакъ я выбрался на улицу со своей женой.

Думая, что если я такимъ манеромъ буду возжаться съ евреями, то никакого не добьюсь толку, и что есть же въ городѣ какіе-нибудь мастера, я отправился въ пивную; тамъ нѣмецъ содержатель указалъ на нѣмца, и вотъ я у того нѣмца и купилъ мебель за восемьдесятъ рублей, тогда какъ въ Петербургѣ за то же количество мебели я могъ бы заплатить руб. пятьдесятъ, но вѣдь здѣсь я взялъ въ долгъ съ разсрочкой на полгода съ обязательствомъ, въ случаѣ неуплаты всѣхъ денегъ въ срокъ, возвратить вещи.

На другой день, отправивъ мебель отъ нѣмца, мы поѣхали въ крѣпость, гдѣ и водворились. И такъ началась моя служба; о житьѣ-бытьѣ въ этой крѣпости я и начну повѣствовать сейчасъ же.

Судя по Петропавловской крѣпости вы можете себѣ представить, что такое крѣпость; наша же крѣпость имѣетъ совсѣмъ другой видъ—это каменная постройка съ валами, канавами, рѣками, мостами, пушками, ядрами, пороховыми погребами, садами, изъ коихъ славится инженерный тѣмъ, что въ немъ ростутъ фрукты, ягоды и цвѣты. Какъ водится, и здѣсь есть своя важная администрація, глава которой комендантъ, и такъ какъ здѣсь еще существуетъ военное положеніе, то васъ за малую оплошность или за дерзость, въ пьяномъ видѣ учиненную, могутъ живо рѣшить военнымъ судомъ. Здѣсь есть свои развлеченія—рыбная ловля, охота за дичью, игра въ карты, клубъ. Наконецъ, здѣсь жизнь замкнутая, стѣсненная до того, что всѣ твои дѣйствія извѣстны всѣмъ; здѣсь даже священникъ при госпитальной церкви во время службы считаетъ посѣтителей, такъ что знаетъ, кто не былъ, и этотъ не бывшій при встрѣчѣ получаетъ вѣжливый выговоръ и приличное наставленіе,—словомъ, здѣсь скука непомѣрная.

Представьте себѣ одно то: идешь ты и видишь все военныхъ, валы, пушки и укрѣпленія; сидишь дома, у окна, и видишь то же. Офицерамъ, послѣ ученья, дѣлать нечего; нашему брату, послѣ визитаціи, тоже дѣлать нечего, лѣчить же со стороны позоветъ нашего брата только больной сифилисомъ; а эта язва сильно распространена не только у солдатъ, но даже и у женатыхъ офицеровъ. Только инженерамъ, да и то не всѣмъ, есть работа.

Въ первый день по водвореніи въ крѣпости я на визитацію не пошелъ, такъ какъ было уже поздно. По окончаніи разстановки вещей встрѣтилось затрудненіе: нужно было готовить кушанье, а нечѣмъ и не въ чемъ, не было ни воды, ни дровъ. Пришедшій ко мнѣ денщикъ объяснилъ, что воду и дрова я получу завтра, потому что водовозъ развозитъ воду по утрамъ, а помощника смотрителя, завѣдывающаго дровами, теперь дома нѣтъ—уѣхалъ въ селеніе за семь верстъ. Дѣлать нечего, отправился я къ Иконникову съ женой и у него пробылъ весь день, а вечеромъ пришлось играть съ письмоводителемъ и бухгалтеромъ въ карты.

— А что, могу я завтра получить жалованье впередъ, хоть половину?—спросилъ я бухгалтера.

Онъ усмѣхнулся.

— Ни завтра, ни послѣзавтра вы не получите,—и почему-то захохоталъ.

— Почему?

— Потому-что мы получаемъ по третямъ.

Я струсилъ. И немудрено: у меня было всего на всего три рубля, а до получки оставалось два мѣсяца, такъ какъ я пріѣхалъ въ концѣ февраля.

— А къ Пасхѣ я получу?

— Нѣтъ, вы получите, какъ и всѣ получаютъ, черезъ четыре мѣсяца службы.

— Положеніе незавидное. «Какъ же это они-то живутъ?»—думалъ я.

Утромъ явилась кухарка, привезли дровъ и воды. Я отправился на визитацію. Въ госпиталѣ были всѣ въ сборѣ, кромѣ главнаго доктора. Тутъ были и помощникъ смотрителя, и комиссаръ, и помощникъ главнаго доктора дряхлый старикашка, надъ которымъ трунили почти всѣ, несмотря на его чинъ статскаго совѣтника. Доктора, каждый по своей части, уже обошли своихъ больныхъ. Я или скорѣе Иконниковъ представился нѣмцамъ. Они любезно, но сухо, тоже представились. Всѣ, кромѣ одного старикашки, хорошо говорили по-русски и разспрашивали о новостяхъ петербургскихъ, о томъ, будетъ ли война, не слышно ли о какихъ-нибудь улучшеніяхъ по медицинской части, а одинъ даже похвастался, что онъ родственникъ какому-то генералу. Но все это дѣлалось вяло, неохотно, такъ и казалось, что все это они уже знали, а если говорятъ, то изъ приличія. Нѣмецъ, не знающій по-русски, что-то проговорилъ мнѣ, но я не понялъ; нѣмецъ сконфузился, я тоже, остальные отвернулись, улыбнулись и язвительно посмотрѣли другъ на друга. Къ счастью явился самъ и поздоровался со всѣми, скоро, по-начальнически, выдергивая руку. Доктора называли его по имени, фельдшера его пр—мъ, а солдаты по проходѣ его быстро останавливались, отдавая честь. Впрочемъ, я замѣтилъ, что и доктора-то тоже держатъ руки по швамъ.

Началась визитація. Зашли въ одну палату. Главный докторъ нюхнулъ воздухъ.

— Егоровъ!—крикнулъ онъ такъ, что даже я вздрогнулъ.

Къ главному доктору подскочилъ фельдшеръ и всталъ во фронтъ.

— Ты опять не накурилъ!..

— Я курилъ, в. пр—во,—робко объяснилъ Егоровъ.

— Молчать!—и на Егорова посыпались ругательства. Насытившись этимъ занятіемъ, онъ сталъ провѣрять скорбные листки, но у больныхъ пульса не щупалъ и у рѣдкаго спрашивалъ, какъ больной себя чувствуетъ. Вообще онъ обращался грубо. Подошелъ, напр., онъ къ одной кровати, къ тифозному солдату.

— Ты, каналья, все еще здѣсь?

— Онъ боленъ, Николай Николаичъ,—отвѣтилъ за больного Иконниковъ.

— Знаю я, какъ онъ боленъ: служить не хочется—вотъ что. Дармоѣды...

— Но я, ручаюсь, что онъ боленъ.

— Все-таки...—и недовѣрчиво онъ повернулъ въ другую палату.

И тамъ онъ дѣлалъ замѣчанія докторамъ, распеканціи фельдшерамъ. Двухъ больныхъ велѣлъ выписать за то, что изо ртовъ ихнихъ пахло водкой.

— Г. Иконниковъ, вы опять переврали рецептъ, это нехорошо.

Иконниковъ покраснѣлъ.

— По-моему вѣрно.

Пошли въ женское отдѣленіе, гдѣ было четыре женщины и десятокъ ребятъ.

— Бабки нѣтъ?

— Была да ушла,—отвѣтила сидѣлка.

— Да, она была,—добавилъ нѣмецъ-ординаторъ, завѣдывающій женскимъ отдѣленіемъ.

Главный докторъ повернулся и вышелъ. Пошли и мы, но въ арестантское отдѣленіе мы не ходили: самъ боится туда ходить. Нѣмцы потихоньку ругали свое начальство. Иконниковъ горячился.

— Вамъ надобно итти въ контору, тамъ сегодня, говорятъ, будутъ судить акушерку,—проговорилъ онъ, когда мы шли садомъ.

— Пойдемте,—сказалъ я.

Контора находится въ томъ же зданіи, гдѣ помѣщается главный докторъ, съ тою разницею, что квартира главнаго доктора занимаетъ весь верхній этажъ комнатъ въ восемь, а контора двѣ трети нижняго. Когда мы пришли, всѣ писаря встали, отдали честь и сѣли. Въ присутствіи уже сидѣли начальникъ госпиталя со смотрителемъ. Когда мы усѣлись, предсѣдатель, главный докторъ, сказалъ лѣкарскому помощнику, сидѣвшему за особымъ столомъ у окна, чтобы позвали бабку. Затѣмъ разговоръ начался о карточной игрѣ.

Наконецъ, явилась акушерка, пожилая женщина, съ усталымъ лицомъ, но, повидимому, женщина не изъ робкихъ. Она смѣло подошла къ концу стола и встала между смотрителемъ госпиталя и главнымъ докторомъ.

— На васъ, г-жа Иванова, поданъ бухгалтеромъ Журкевичемъ рапортъ, что вы будто обозвали его «перекрещенцемъ» при двухъ свидѣтеляхъ,—произнесъ главный докторъ, держа въ рукахъ бумагу и поднимая важно голову.

— Я не обозвала, а только назвала. Развѣ не правда, что онъ перекрещенецъ?—проговорила скороговоркой повивальная бабка.

— Вы слышите, в. п—ство, она и въ присутствіи ругается,—сказалъ бухгалтеръ Журкевичъ, стоявшій тутъ же.

— Да развѣ не знаетъ вся крѣпость, что вы были назадъ тому три недѣли католикомъ и теперь въ душѣ полякъ...

— Послушайте...—остановилъ бабку главный докторъ.

— Я говорю правду, в. п—ство.

— Вы, г-жа Иванова, вмѣшиваетесь не въ свое дѣло... Это дѣло начальства, а не ваше!—проговорилъ запальчиво начальникъ госпиталя.

— Г. полковникъ, я думаю, что начальству тоже не для чего вмѣшиваться въ семейныя дѣла. Вы знаете, что мы живемъ на одномъ крыльцѣ рядомъ. Поэтому его жена постоянно дѣлаетъ мнѣ колкости, а дѣти ихнія стараются всячески что-

нибудь напакостить: воруютъ дрова, бросаютъ камнями въ моихъ курицъ, разъ даже убили пѣтуха, перепортили мой огородъ и постоянно, если ихъ поймаешь на мѣстѣ, говорятъ мнѣ дерзости. Скажешь матери, та въ слезы, обругаетъ, а г. Журкевичъ вдругъ врывается ко мнѣ и говоритъ дерзости съ крикомъ, такъ что однажды перепугалъ моихъ дѣтей до того, что ихъ лѣчилъ г. Иконниковъ.

— Не я говорю дерзости, а вы! Вы первая задираете и колотите моихъ дѣтей!—съ жаромъ и съ пѣной у рта проговорилъ Журкевичъ.

— Врете, м. г.!

— Нельзя ли вамъ помириться?—принявъ на себя роль юриста-предсѣдателя, проговорилъ главный докторъ.

— Ни за что!—вразъ сказали истецъ и отвѣтчица.

— Ваше высокородіе, нельзя ли ее перевести на другую квартиру,—обратился Журкевичъ къ начальнику госпиталя.

— Я думаю, это ихъ разъединитъ,—обратился полковникъ къ присутствующимъ.

— Г. полковникъ, я живу въ этой квартирѣ уже второй годъ, я къ ней привыкла, она удобна, хороша для моихъ дѣтей. Я разработала заброшенный огородъ, развела клубнику. Это мѣсто принадлежитъ инженерамъ, а г. Журкевичъ хочетъ его отнять, несмотря на то, что у него точно такая же часть имѣется. Вотъ у насъ изъ-за этого клочка земли и идетъ распря, и его дѣти не только при его глазахъ рвутъ съ моихъ грядъ огурцы, кидаются каменьями въ бесѣдку, но даже и въ моихъ дѣтей кидаются, чѣмъ попало. Бабка заплакала.

Главный докторъ, махнувъ рукой, всталъ, а за нимъ встали и мы, и за начальствомъ разошлись молча по своимъ квартирамъ. Когда я уходилъ, то слышалъ какъ Журкевичъ сказалъ бабкѣ со злобнымъ смѣхомъ:

— Довелъ-таки я васъ до слезъ!

Но бабка такъ и ушла со слезами домой. Я былъ весьма взволнованъ такимъ судомъ. Главное, изо всѣхъ сидящихъ за присутственнымъ столомъ (т. е. столомъ, за которымъ сидѣлъ я съ начальствомъ, и на которомъ имѣлось зерцало) никто въ пользу бабки не сказалъ ни слова. Спросилъ я Иконникова, какъ онъ думаетъ объ этомъ обстоятельствѣ, но напрасно: онъ уже относился ко всему окружающему равнодушно и безучастно.

— Чортъ съ ней и съ лѣкарской службой! Какъ только я отчеканю службу казнѣ, непремѣнно пойду служить по акцизу,—проговорилъ мнѣ Иконниковъ съ какою-то злостью. Но мнѣ показалось, что слова главнаго доктора о томъ, что онъ не умѣетъ составлять рецепты—вѣрны. И у меня сжалось сердце при мысли: если кончившіе курсъ въ академіи, живя въ крѣпостяхъ, на одномъ мѣстѣ, года два, три, истрачиваютъ тотъ запасъ знаній, который они пріобрѣли годами лишеній, подвергаются апатіи, то что же дѣлается съ тѣми медиками, которые, обжившись на одномъ мѣстѣ, свое занятіе считаютъ за служебную обязанность.

— Что же вы не держите экзаменъ на доктора?—сказалъ я Иконникову въ видѣ утѣшенія.

— Средствъ, батюшка, нѣтъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ со вздохомъ.

— Какія же тутъ средства? Вѣдь къ тому, чему мы учились, добавить не много нужно.

— Нужны книги, а денегъ нѣтъ. Вѣдь я... Да я удивляюсь: какъ это я еще выдержалъ экзаменъ на лѣкаря. У меня не было книгъ; я книги бралъ у товарищей, или мы съ товарищами читали вмѣстѣ. Я даже и пальто штатскаго своего не имѣлъ, а если нужно было итти въ академію, то пойдешь къ товарищу и просишь пальто. Дастъ — пойдешь, не дастъ—сидишь дома, потому что я жилъ на Петербургской, въ Бѣлозерской улицѣ и зимой шагать оттуда далеко. А уроковъ я, при неимѣніи товарищей изъ баричей, добиться не могъ. Впрочемъ, грѣшенъ, я тогда попивалъ крѣпко.

Сознаюсь, и со мною въ первое время то же было, но зато я потомъ, попавши на хорошій урокъ, познакомился съ одной барышней, которая теперь сдѣлалась моей женою. Не будь ея, я бы не накупилъ десятка три хорошихъ книгъ. Вотъ я и предложилъ эту скудную библіотеку, уже мною прочитанную, Иконникову. Но что же оказалось? Онъ одну книгу не могъ прочитать въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ. Пробовалъ я его спрашивать кое о чемъ изъ этой книги,—оказалось, что онъ ея вовсе не читалъ.

Отправился я въ клубъ. Клубъ этотъ помѣщается въ бывшемъ клубѣ и устроенъ недавно. Днемъ онъ походитъ скорѣе на тюрьму, чѣмъ на клубъ: стѣны толстыя — больше аршина, двери узкія, низкія, залъ обитъ краснымъ сукномъ, занавѣсы на окнахъ тоже малиноваго цвѣта, однимъ словомъ мрачно, такъ и кажется, что здѣсь жилъ какой-нибудь католическій епископъ. Когда я пришелъ, народу было мало. Это были все офицеры, три дамы ходили по залу, но музыканты—шесть евреевъ—еще не играли. Въ одной изъ комнатъ уже играли; двое изъ игравшихъ — одинъ сѣдой генералъ, другой полковникъ — тянули табачный дымъ изъ длинныхъ чубуковъ.

Я закурилъ папироску. Вдругъ ко мнѣ подходитъ инженеръ.

— Позвольте, г. докторъ, не курить здѣсь,—сказалъ онъ мнѣ шопотомъ.

— Почему? Вѣдь вонъ этотъ генералъ куритъ же, да еще изъ трубки.

— Онъ комендантъ. Онъ, знаете, не любитъ, чтобы наша братія курила въ его присутствіи.

— Но гдѣ же можно курить?

— А въ буфетѣ.

Я пошелъ въ буфетъ.

Буфетъ былъ биткомъ набитъ офицерами. Они то-и-дѣло прикладывались къ водкѣ, закусывая пирожками, не платя денегъ, а прося записать на нихъ въ книжку. Кромѣ остротъ и пошлыхъ разговоровъ я ничего не услыхалъ, даже ухарства я

не замѣтилъ, всѣ какъ-то вялы и если пройдетъ полковникъ, то съ почтеніемъ отодвигаются. Тутъ же я замѣтилъ въ штатскомъ платьѣ молодого человѣка, сидящаго въ углу съ папироской. Я замѣтилъ, что на него никто не обращаетъ вниманія. Но мнѣ показалось, что я его гдѣ-то видалъ, показалось мнѣ также, что и онъ какъ будто знаетъ меня или хочетъ со мной познакомиться.

Я подошелъ къ нему.

— Я васъ гдѣ-то видалъ, кажется?—спросилъ я его.

— Можетъ-быть. Мы вѣдь съ вами въ одномъ вагонѣ ѣхали.

— Вы откуда?

— Изъ Петербурга.

— Вы студентъ?

— Нѣтъ, я мужъ акушерки.

Оказалось, что это былъ литераторъ. Мы познакомились, разговорились. Ходя по залѣ, онъ мнѣ многое разсказалъ о здѣшней жизни.

Онъ мнѣ разсказалъ, что здѣсь всѣ находятся въ рукахъ евреевъ, потому что торговля находится въ ихъ рукахъ. Хотя въ городѣ и есть двѣ нееврейскія лавки,—одна русская, другая польская, и потомъ нѣмецкая пивная,—но онѣ имѣютъ небольшой кружокъ покупателей, потому что тамъ торгуютъ такими вещами, которыя не для всѣхъ требуются, тамъ дорого, въ долгъ вѣрятъ рѣдко и то знакомымъ, а евреи вѣрятъ, на сколько угодно, и у нихъ есть все, что угодно.

Что же касается до здѣшней администраціи относительно крестьянъ, то, по его разсказамъ, она находится, да и самое крестьянское дѣло въ плачевномъ состояніи, потому что дѣлами заправляютъ комиссары (въ родѣ письмоводителей, получающихъ по 75 руб. въ мѣсяцъ), а посредники устраиваютъ пикники, изрѣдка бывая въ селахъ и деревняхъ, постоянно должая евреямъ, которые, подъ видомъ аренды, завладѣваютъ конфискованными землями, отданными въ аренду русскимъ чиновникамъ. Относительно здѣшняго общества, за исключеніемъ евреевъ, составляющихъ свое замкнутое общество, въ тайны котораго проникнуть нѣтъ никакой возможности, кромѣ обрядовыхъ сторонъ, то здѣсь существуетъ два главныхъ лагеря: военный и статскій, которые, какъ я сказалъ раньше, относятся другъ къ другу враждебно. Хотя въ городѣ и есть плюгавый садъ, существующій, кажется, съ основанія крѣпости, на который ежегодно отпускается порядочная сумма, все-таки ворота держатся на одномъ шалнерѣ, кусты деревьевъ поѣдаютъ козы; онъ посѣщается только тогда, когда тамъ играютъ музыканты того полка, который, не подчиняясь крѣпости, расположенъ въ городѣ. Эти музыканты считаются лучшими, но крѣпостные обитатели считаютъ своихъ горнистовъ гораздо лучше и слушаютъ ихъ лѣтомъ по воскресеньямъ въ крошечномъ комендантскомъ садикѣ. Однако, надо замѣтить еще то, говорилъ Ивановъ, что эти два лагеря раздѣляются еще на нѣсколько отрядовъ, или по-раскольнически сектъ. Такъ полкъ, стоящій въ городѣ, считаетъ себя, за исключеніемъ инженеровъ и артиллеристовъ, умнѣе всѣхъ крѣпостныхъ обитателей, и рѣдкій изъ нихъ знакомится съ крѣпостными, хотя бы, по здравому смыслу, они, какъ воинство, должны жить въ союзѣ и согласіи. Этотъ полкъ составляетъ отдѣльное общество и приникнулся, подъ видомъ далекой ѣзды въ крѣпость, къ городскому миніатюрному клубу. Въ крѣпости же инженеры и докторанѣмцы относятся съ презрѣніемъ къ гарнизоннымъ офицерамъ; даже между военными инженерами и артиллеристами, изъ которыхъ есть много умныхъ ребятъ, не существуетъ согласія, вѣроятно, на томъ основаніи, что военные инженеры считаютъ себя хозяевами, и люди со средствами. Нѣмцы, которыхъ изобиліе, не любятъ русскихъ, стараясь ихъ вытѣснить, доктора нѣмецкіе тоже; доктора чванятся надъ офицерами; городскіе доктора считаютъ себя умнѣе крѣпостныхъ; крѣпостной протоіерей считаетъ себя умнѣе городского протоіерея, — однимъ словомъ, идетъ всеобщій кавардакъ.

Про свое житье въ крѣпости Ивановъ разсказалъ слѣдующее:

— Представьте себѣ, что я здѣсь въ крѣпости, за исключеніемъ лакеевъ, единственное статское лицо. Лакеи изъ солдатъ уважаются гораздо лучше меня: они служатъ, а я нѣтъ. Поэтому на меня смотрятъ какъ на пустого, ничего не дѣлающаго человѣка, а нѣкоторые даже говорятъ, что я живу у жены на содержаніи. Къ моимъ же занятіямъ относятся съ презрѣніемъ, на томъ основаніи, какъ они говорятъ: «сочинить-то и мы сами сумѣемъ». А такъ какъ я человѣкъ нечиновный, то, за исключеніемъ одного инженера, который вводитъ меня въ клубъ, какъ гостя, и Иконникова, всѣ относятся съ презрѣніемъ, хотя, ради того, что я литераторъ, и приглашаютъ въ гости. Но я знаю, что многіе меня побаиваются, и разъ даже вышелъ переполохъ. Кто-то помѣстилъ въ «Искрѣ» статейку о здѣшнемъ клубѣ, ее приписали мнѣ; говорятъ, доносили объ этомъ коменданту, такъ что мой пріятель инженеръ, получившій утромъ «Искру» изъ управленія съ нотабене, позвалъ меня къ себѣ, когда я еще спалъ. Онъ страшно перепугался за меня и за себя, потому что всѣ знали, что я у него бываю каждый день, и видѣли, какъ я гулялъ съ нимъ по крѣпости, но меня все-таки оставили въ покоѣ, вѣроятно, потому, что инженеръ-пріятель успокоилъ всѣхъ тѣмъ, что я хотя сотрудничаю въ «Искрѣ», но такими мелочами не занимаюсь. Въ обществѣ на меня смотрятъ косо, съ презрѣніемъ, знакомые какъ будто боятся говорить; скука страшная, говорить не съ кѣмъ, а уйти нельзя—невѣжливо, такъ что приходится играть въ карты и проигрывать. Разъ за ужиномъ у одного господина комендантъ хотѣлъ, повидимому, вызвать меня на скандалъ, но я во все время ужина не произнесъ ни одного слова. Дѣло въ томъ, что въ Пасху я былъ у заутрени (итти было необходимо; здѣсь за этимъ строго наблюдаетъ протоіерей), пѣвчіе изъ писарей въ одномъ мѣстѣ такъ оборвались, что должны были умолкнуть, подхватили арестанты и пропѣли довольно хорошо. Вотъ на эту-то тему и завелъ разговоръ комендантъ, предлагая командиру полка найти ре-

гента изъ статскихъ съ жалованіемъ по сто рублей въ годъ, съ солдатскимъ пайкомъ и солдатскими сапогами. Даже если пойдешь куда-нибудь, то смотрятъ съ какою-то завистью и ненавистью, и солдаты вслухъ дразнятъ длинноволосымъ чортомъ съ четырьмя глазами. Если пойдешь купаться—спрашиваютъ паспортъ; пойдешь рыбу удить—гонятъ прочь, потому-де, что тутъ ходить не приказано; а если пойдешь съ кѣмъ-нибудь изъ военныхъ—ничего.

Въ это время заиграла музыка. Это шестеро израильтянъ играли сносно. Но они умѣютъ играть только польки и мазурки, вообще музыканты танцовальные. Танцовало шесть паръ. Изъ мужчинъ тутъ были, между прочимъ, одинъ инженеръ путейскій, офицеръ и казначей изъ города, который, несмотря на разницу отношеній между крѣпостными и горожанами, не пропускаетъ ни одного танцовальнаго вечера. Какъ эти трое, такъ и двѣ молоденькія дамы танцовали безъ устали; кромѣ того я замѣтилъ, что только эти шесть паръ и доставляютъ удовольствіе публикѣ смотрѣть на нихъ,—публикѣ уже выпившей, пыхтящей отъ жары и духоты и дѣлающей замѣчанія о ловкости или неловкости такой-то дамы или такого-то кавалера. Лучше и больше всѣхъ танцовала г-жа Иконникова и жена одного офицера.

— Эти барыни,—сказалъ мнѣ Ивановъ,—хотя на фортепьяно не умѣютъ играть, ни бельмеса не смыслятъ по-французски и по-нѣмецки, голоса у нихъ отвратительные, производятъ фуроръ, когда играютъ въ спектакляхъ.

— У васъ и театръ есть?

— Какъ же, устраиваютъ въ этой залѣ. Играютъ плохо, съ пропусками, больше сочиняя отъ себя, но все-таки, доставляя развлеченіе публикѣ, считаютъ себя великими артистками. Безъ этихъ барынь не обходится ни одинъ спектакль.

— А въ городѣ развѣ нѣтъ театра?

— Нѣтъ. Разъ откуда-то сюда пріѣхала труппа. Наклеены были объявленія, что 14-го сентября будутъ представлены двѣ комедіи и водевиль. Отправился я 14-го числа съ однимъ артиллеристомъ на эти представленія. Долго мы искали тотъ домъ, гдѣ будутъ играть. Нашли; вошли во дворъ грязный-прегрязный, театръ оказался въ какомъ-то большомъ амбарѣ.

— Сегодня не будетъ представленія,—сказалъ намъ антрепренеръ.

— Почему?—спросили мы.

— Полицеймейстеръ запретилъ: сегодня, говоритъ, Воздвиженье, большой праздникъ, день постный, поэтому нельзя.

— Много денегъ собрали?

— Ничего. Даровыхъ билетовъ много роздано.

— Можно посмотрѣть на театръ?

— Можно.

Мы вошли. И что же? сдѣланъ небольшой партеръ въ видѣ спуска, сдѣланъ изъ досокъ, которыя трещали и которыя посыпаны пескомъ. Ни креселъ, ни стульевъ нѣтъ, и сидѣнье состоитъ изъ простыхъ досокъ. Занавѣсъ рваная. Съ потолка капало. Гдѣ-то мяукала кошка. Такъ что мы рады были, что представленіе не состоялось.

По окончаніи танцевъ мы пошли въ читальную комнату. Читающихъ въ ней не было никого, только за однимъ столомъ сидѣлъ полковникъ съ трубкой и три дамы. Они что-то кушали. На среднемъ столѣ лежали въ безпорядкѣ «Инвалидъ», «Московскія Вѣдомости» съ «Современными Извѣстіями» и «Голосъ». При входѣ нашемъ кушающіе на минуту прекратили разговоръ, а дамы съ любопытствомъ посмотрѣли на меня.

— А «Петербургскихъ» нѣтъ?

— Нынче ихъ, кажется, не выписываютъ.

— А журналовъ нѣтъ?

— Есть «Вѣстникъ Европы», «Отечественныя Записки», «Дѣло», «Русскій Вѣстникъ», «Собраніе иностранныхъ романовъ», но они читаются, такъ-что ихъ съ превеликимъ трудомъ можно достать.

Мы посмотрѣли газеты и пошли въ игральную комнату.

Тамъ уже коменданта не было, и играющіе на четырехъ столахъ вели себя непринужденно, крича, ругаясь и откалывая непечатныя шуточки. Теперь тутъ страшно было накурено.

Мы подошли къ Иконникову, который игралъ въ мушку съ шестью офицерами. На столѣ за нимъ было записано порядочно; вѣроятно, отъ проигрыша лицо у него было красное.

— Хотите поиграть?—спросилъ онъ меня.

— Почемъ играете?

— Пустяки—по три коп. Я уже рублей пятнадцать продулъ.

Я отказался.

— А вы присоединитесь къ общему ужину: пять руб. съ рыла.

— Нѣтъ.

— Но вамъ нельзя: вы только-что пріѣхали, надо познакомиться, а пять рублей не разорятъ. Ваша супруга здѣсь?

Однако тутъ, какъ и всегда въ игральной комнатѣ, было скучно, и мы отправились въ буфетъ. Тамъ тоже играли на двухъ столахъ въ преферансъ; а двое нашихъ нѣмецкихъ медиковъ играли въ шахматы до того усердно, что ни на кого изъ проходящихъ мимо нихъ или смотрящихъ на ихъ игру не обращали никакого вниманія; оба они такъ и впились глазами въ офицеровъ и пушки, и думали каждый по четверти часа.

Скучно было и здѣсь; было много пьяныхъ офицеровъ, начавшихъ уже шумѣть и задирать на драку. Мы пошли домой.

— Скажите, пожалуйста, я въ буфетѣ не замѣтилъ патента на право торговли?—спросилъ я, идя домой темной ночью, Иванова.

— Содержатель буфета маркитантъ крѣпости, городской купецъ. Онъ обязанъ въ случаѣ войны доставлять войску все, что потребуется. Онъ въ цитатели имѣетъ лавку, въ которой держитъ всего понемножку, но у него кромѣ гильзъ и булокъ ничего не покупаютъ, потому что не стоитъ,

такъ какъ у него все втрое дороже и гадость. Да и гильзы-то немногіе у него покупаютъ.

— Но чѣмъ же онъ живетъ?

— У него кабакъ внутри цитадели. Это страшное зло, и я не знаю зачѣмъ допускаютъ внутри крѣпости кабакъ. Пойдите вы вечеромъ—онъ биткомъ набитъ солдатами, а подъ праздникъ и въ праздникъ до выручки не доберешься. И хотя бы водка-то была хорошая, а то дрянь и сравнительно съ городскими, не говорю уже шинками, но складами, гдѣ продаютъ и раздробительно, онъ беретъ значительно дороже.

— Зачѣмъ же они въ городѣ не покупаютъ водку?

— Въ городѣ? Въ городъ-то надо итти — да изъ города итти, это выйдетъ добрыхъ два часа, да и стоитъ ли изъ-за осьмушки или косушки итти туда, имѣя въ виду переклички и т. п. Здѣсь же солдатъ дома, потребовало начальство — за нимъ сбѣгаютъ.

— Но вѣдь онъ вечеромъ послѣ переклички свободенъ?

— Въ девять часовъ кабакъ запирается и солдатъ долженъ быть въ казармѣ, а если онъ загуляетъ въ городѣ, то, пожалуй, и не явится къ сроку, развѣ ужъ воровски пройдетъ какъ-нибудь. Такъ вотъ этому-то купцу и дозволили за плату имѣть буфетъ въ клубѣ. Внизу у него кухня, бильярдъ, и у него многіе холостые офицеры обѣдаютъ. Говорятъ, беретъ недорого, и кушанья порядочныя.

Итакъ сталъ я жить въ крѣпости, но жить не припѣваючи. Скука была страшная, потому что послѣ визитаціи дѣлать было нечего; а оставалось, по примѣру Иконникова, купить гармонику или играть въ карты, но играть на гармоникѣ я не умѣю, а къ картамъ чувствую отвращеніе, да и денегъ нѣтъ. Оставалось читать книги, но свои я ужъ давно перечиталъ, изъ клуба доставать трудно. Приходилось довольствоваться старыми газетами. Съ нѣмцами я ладилъ, съ начальствомъ тоже. Только разъ я имѣлъ стычку съ главнымъ докторомъ. Приходитъ онъ разъ въ мою палату, взглянулъ на печь—форточка открыта. А онъ еще наканунѣ распекъ фельдшера за то, что въ палатѣ душно оттого, что не открыта форточка.

— Ты, каналья, опять открылъ форточку!—накинулся главный докторъ на дрожащаго фельдшера.

Фельдшеръ промолчалъ.

— Вы вчера сами изволили приказать открывать по утрамъ форточку,—сказалъ я за фельдшера.

— Никогда я не приказывалъ. Запереть! У... кан... и ушелъ.

Но иногда даже бываетъ весело. Разъ нѣмецъ, не говорящій по-русски, до того раскричался, что, плюнувъ, попалъ ногой въ свой харчокъ и упалъ, такъ что пришлось пролежать больше мѣсяца; этотъ же нѣмецъ разъ сказалъ больной — «если твой приниматъ лѣкарство — то твой помретъ», вѣроятно, думая, что по-русски «перемѣнять» и «не принимать» одно и то же. Баба посовѣтовалась съ бабкой, бабка съ главнымъ докторомъ, тотъ потребовалъ нѣмца и бабку въ контору; нѣмецъ отперся отъ своихъ словъ, а бабка получила выговоръ. Въ другой разъ вышелъ такой казусъ. Бабка доказывала, что у женщины приросъ послѣдъ, а нѣмецъ, не этотъ—другой доказывалъ, что такъ ребенокъ, и сталъ работать рукой и инструментомъ. Баба умерла; оказалось, что другого ребенка и слѣдовъ не было.

Бываютъ развлеченія и другого рода. Къ намъ часто ѣздитъ начальство. Еще задолго до пріѣзда, насъ соберутъ всѣхъ, и мы ждемъ его часа три-четыре въ полной формѣ, а оно, пріѣхавши, заглянетъ въ палаты, кромѣ, разумѣется, арестантской, и уйдетъ, не удостоивъ насъ и взглядомъ.

Прожилъ я такимъ манеромъ съ полгода, привыкъ къ этой жизни; но она надоѣла мнѣ, опротивѣло это однообразіе. Лѣтомъ здѣсь жара страшная, такъ что я уже купилъ лодку и катался по утрамъ и вечерамъ; пробовалъ удить рыбу—скучно. А между тѣмъ есть охотники, которые просиживаютъ цѣлыя сутки. И вотъ радъ не радъ, если пригласятъ тебя на маюшку (гулянье) куда-нибудь въ поле, верстъ за десять. А мѣста есть дѣйствительно великолѣпныя, но какъ узнаешь, что эти всѣ мѣста, по извѣстнымъ всѣмъ причинамъ, находятся въ рукахъ евреевъ эксплуататоровъ,— сердце сжимается отъ скорби, на томъ основаніи, что, не находись эти мѣста въ рукахъ евреевъ-эксплуататоровъ, они приносили бы хозяевамъ большой доходъ, а крестьянамъ, при правильномъ и честномъ хозяйствѣ, посильную помощь.

Случилось мнѣ разъ быть у русскаго арендатора, чиновника, на именинахъ. Онъ арендовалъ шестьсотъ десятинъ земли, изъ нихъ двѣсти были удобны для хлѣбопашества, но у него было засѣяно только десять десятинъ. Собралось насъ много, въ томъ числѣ были два священника изъ ближайшихъ школъ, и меня крайне удивило то, что священники кое-какъ умѣютъ говорить по-русски. Послѣ обѣда одни пошли спать въ домъ, устроенный совсѣмъ иначе отъ русскаго: нижній этажъ каменный съ толстыми стѣнами, каменнымъ поломъ, маленькими окнами,— въ этомъ этажѣ помѣщалась прислуга, состоявшая изъ окрестныхъ крестьянъ, управляемыхъ приказчикомъ-евреемъ; тутъ хозяинъ и ночевалъ иногда со своимъ семействомъ. Но здѣсь, несмотря на знойное лѣто, было очень сыро и холодно, какъ въ погребѣ. Ничего тутъ похожаго на ферму не замѣчалось: тутъ не было ни плиты, ни русской печки, нигдѣ не видно было кринокъ съ сывороткой, съ творогомъ или со сметаной. Самый входъ въ этотъ этажъ походилъ на спускъ въ подвалъ, хотя домъ и находился на возвышеніи. Верхній этажъ, деревянный, походилъ на голубятню, такъ какъ окна въ немъ были заколочены, а черепичная крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разъѣхалась и образовала дыры, только какой-то шестъ, неизвѣстно почему, торчалъ посрединѣ ея. Этотъ домъ даже ничѣмъ не огораживался и напоминалъ собою какой-то древній русскій острогъ въ пріуральскихъ городахъ. А между тѣмъ мѣстность здѣсь живописная: тутъ растутъ и дубъ, и береза, и груша, и орѣхи, и ольха, внизу

протекаетъ рѣчка, на полѣ справа пасутся коровы, еще правѣе овцы.

— Чьи же это коровы и овцы? — спросилъ я хозяина.

— А это Мошка Ахтаровъ арендуетъ у мирового посредника.

— Развѣ мировой посредникъ имѣетъ здѣсь помѣстье?

— Взялъ на аренду. Всѣмъ чиновникамъ даютъ. Вотъ что, нѣтъ ли у васъ пятисотъ рублей, я съ вами, пожалуй, пойду на паяхъ.

— А вы сколько платите?

— Я взялъ на 36 лѣтъ и долженъ каждый годъ платить по 75 руб., но нынѣшній годъ я продалъ сѣна только на 50 руб., а груши поѣли ребятишки.

— Отчего же вы землю не воздѣлываете?

— Какъ?

— Т. е., не удобряете. Вы могли бы получить хорошій урожай.

— Вольно вамъ разсуждать такъ. Такъ у васъ въ Россіи, можетъ-быть, водится (чиновникъ былъ изъ здѣшнихъ уроженцевъ), а у насъ не то. У насъ земля нехорошая.

— Удобрите.

— Есть мнѣ время. Вонъ еврей, мой приказчикъ, проситъ у меня сто десятинъ, но я не даю, потому что онъ, шельма, на тридцати десятинахъ отличный овесъ достаетъ.

— Ну и отдайте.

— Да онъ проситъ даромъ. А знаете что? Онъ землю-то обработаетъ, барыши будетъ брать себѣ, а я останусь въ долгу. А если я черезъ годъ не внесу арендной платы, то отъ меня аренду отберутъ, и она достанется этому же жиду... Нѣтъ ужъ я лучше буду кулакомъ, чѣмъ попуститься арендѣ; лучше задолжать еврею, чѣмъ не быть землевладѣльцемъ.

— Вы развѣ должны приказчику?

— Да... но... у насъ съ нимъ свои счеты...— замялся арендаторъ.

— Вы бы сами смотрѣли за хозяйствомъ.

— Помилуйте! я человѣкъ служащій. Аренду я взялъ на выигрышные билеты. Въ землѣ я не имѣю толка; только одно утѣшеніе, что лѣтомъ хорошо, есть куда поѣхать, освѣжиться, да и у меня свои яблоки, груши, сливы, малина и прочія ягоды. Самъ я жить не могу здѣсь, нужны рабочіе, а когда мнѣ съ ними возиться, да и я съ этимъ дѣломъ не знакомъ. Хорошо бы еще, если бы я получалъ большое жалованье. Изъ мѣстныхъ крестьянъ толковыхъ людей не найдешь—всѣ они или олухи, или заняты своими дѣлами, или подкуплены жидами. Вотъ я и нанялъ приказчика-жида, которому ничего не плачу, кромѣ того, что онъ пользуется тридцатью десятинами земли и продаетъ мое сѣно и фрукты. А вотъ не хотите ли вы вступить ко мнѣ въ пай? Дѣло бы вышло чудесное!

— Я человѣкъ новый, да и едва ли проживу долго.

— Это ничего. Вѣдь ваши билеты также лежатъ задаромъ, а выиграете ли вы—это еще на водѣ вилами писано.

И вотъ этотъ человѣкъ, пронюхавшій отъ евреевъ, что у моей жены есть билеты внутренняго съ выигрышами займа, повадился ходить ко мнѣ и клянчить хотя одинъ билетъ, но я не далъ.

А между тѣмъ я былъ кругомъ въ долгу, какъ въ шелку. Дѣло въ томъ, что я въ первый разъ жалованье получилъ черезъ четыре мѣсяца, и въ теченіе этого времени долженъ былъ что-нибудь ѣсть, тутъ наступила Пасха, нужно было стряпать печенія по-польски, что стоило рублей двадцать, потомъ родила жена...

И вотъ я, чтобы не уронить себя, на первыхъ порахъ взялъ одинъ билетъ и понесъ его въ казначейство, но казначей не купилъ даже за номинальную цѣну. Долго я ходилъ отъ еврея къ еврею, но они давали отъ 105 до 110 руб., несмотря на то, что въ то время билеты стояли по курсу 150 руб. Къ счастью, я сбылъ этотъ билетъ одному аптекарю за 120 руб. Но этихъ денегъ, какъ я ни акуратно тратилъ ихъ, хватило только на два мѣсяца. И вотъ, по рекомендаціи Иконникова, я сталъ брать въ долгъ у одной честной еврейки свѣчи, мыло, табакъ и т. п., а какъ получилъ жалованье, то его и половины не хватило, а тутъ еще пристаетъ нѣмецъ, проситъ деньги за мебель. Проживши полгода, я сильно задолжалъ, а евреи, какъ кончится мѣсяцъ, лѣзутъ съ книжками прямо въ комнату, требуя денегъ. Да что и говорить? Нѣтъ ни одного чиновника, даже высокопоставленнаго человѣка въ крѣпости, который бы не былъ долженъ какому-нибудь еврею, и есть даже такіе аферисты, которые уѣзжаютъ, не платя евреямъ долговъ. А еще евреевъ ругаютъ!

Къ числу развлеченій не мѣшаетъ привести и крѣпостные скандалы. Скандаловъ у насъ пропасть. Между ними я приведу самые видные. Былъ въ клубѣ балъ. Былъ тутъ одинъ генералъ съ женой, а жена была беременна; были тутъ также сестры жены генерала, молодыя дѣвушки, только-что выпущенныя изъ Смольнаго. Эти дѣвицы очень зашалились, что не очень нравилось генералу. Въ двѣнадцать часовъ генералъ крикнулъ музыкантамъ: музыканты, перестать!

— Играйте! Пятую! — кричитъ танцоръ-инженеръ.

— Пошли вонъ!

Ну, всѣ и разошлись.

Въ другой разъ одинъ офицеръ сказалъ въ клубѣ главному доктору, что изъ госпитальной аптеки отпускаютъ не лѣкарства, а жижицу. (Въ чемъ всѣ порядочные люди крѣпости давно убѣдились и покупаютъ за деньги лѣкарства изъ городскихъ аптекъ). Поднялась такая буря—страсть! Назначили слѣдствіе, пріѣхалъ окружной инспекторъ, и офицера перевели въ другое мѣсто.

Потомъ говорятъ, что будто письмоводителя госпиталя двѣ наши знаменитыя артистки отодрали крапивой. Дѣло въ томъ, что у одного доктора жила гувернантка, дѣвушка бѣдная, но образованная; говорятъ, что въ нее влюбились одинъ докторъ

и письмоводитель до безумія, но она на нихъ не обращала вниманія. Вотъ, чтобы оскандалить эту дѣвушку, письмоводитель и скажи доктору, что одна актриса въ саду говорила другой актрисѣ, что гувернантка по ночамъ сидитъ въ саду, дожидаясь любовниковъ. Начался скандалъ. Говорятъ, что артистки будто бы поймали письмоводителя въ саду ночью и отхлестали его по щекамъ и рукамъ крапивой—за клевету. Но самое крупное—это поединокъ двухъ инженеровъ—тоже изъ ревности. Сражались на шпагахъ, и женатый, имѣющій взрослыхъ дѣтей, инженеръ получилъ глубокую рану въ ногу и принужденъ былъ очень долго лѣчиться, тратя большія деньги. Баловниковъ перевели въ разныя крѣпости.

Лѣтомъ еще сносно: или въ лодкѣ сплаваешь куда-нибудь, отъ страшной жары въ какой-нибудь рѣкѣ искупаешься, въ городъ пройдешься и т. п. Въ первое лѣто я даже въ городѣ пожаръ видѣлъ: сгорѣли три судна съ табакомъ и двумя евреями, прежде чѣмъ пожарные явились. Отъ табаку множество рыбы подохло, да и самую воду приходилось очищать двѣ недѣли, но евреи по своимъ субботамъ все-таки ѣли щукъ, а потомъ хворали. Зимой же въ крѣпости скука страшная. Лѣчить некого, кромѣ страдающихъ венерой, да и то даромъ, потому что вмѣстѣ въ карты играешь, даже одинъ нѣмецъ-докторъ беретъ за визитъ съ евреевъ по злоту, т. е. 15 коп. сер. Прослужилъ я такимъ манеромъ полтора года, сталъ готовиться къ экзамену на доктора. Вдругъ въ нашемъ мірку лѣтомъ поднялся стонъ. Военный министръ издалъ новое положеніе о госпиталяхъ: начальника госпиталя долой, помощника смотрителя долой, помощника главнаго доктора, кастеляншу, письмоводителя долой. Больше всѣхъ вопилъ помощникъ смотрителя: онъ пріѣхалъ откуда-то голъ какъ соколъ, а проживши въ крѣпости два года, завелъ коляски, лошадей и проч. Это объясняется тѣмъ, что отъ разныхъ подрядовъ и поставокъ на госпиталь наживается все начальство съ бухгалтеромъ во главѣ, даже мы грѣшные люди, доктора, во время дежурства пользуемся даровымъ мясомъ и булками, даже фельдшера и тѣ воруютъ масло, булки и т. п. Про аптекаря и говорить нечего: въ аптекѣ не имѣется даже склянокъ, а каждый пришедшій съ рецептомъ долженъ принести свою склянку. Что же касается до помощника главнаго доктора, то онъ ровно ничего не дѣлалъ и получалъ жалованье въ видѣ пенсіи.

Но они еще блаженствовали до января.

Въ январѣ нужно было выѣзжать. Въ февралѣ и акушеркѣ объявили, что она оставлена за штатомъ, выдали ей бумаги и стали гнать съ квартиры. Бѣдняжка страшно перетрусила, мужъ въ Петербургѣ, жалованья не даютъ и гонятъ съ квартиры. Денегъ нѣтъ, надо продавать все имущество, и она, продавши все за безцѣнокъ, поѣхала въ Петербургъ вмѣстѣ со мной.

Теперь представьте же себѣ, въ іюнѣ прошлаго года должность повивальной бабки въ этомъ госпиталѣ снова утверждена на прежнихъ же правахъ. Петербургское же начальство даже укорило Иванову, зачѣмъ она уѣхала изъ крѣпости, какъ будто она духомъ святымъ могла знать объ оставленіи ея на прежнемъ мѣстѣ.

Драматическія сочиненія.

Прогрессъ въ уѣздномъ городѣ.

КОМЕДІЯ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Анфимогенъ Григорьевичъ Голубцовъ. Исправникъ. 50 лѣтъ. Тучный господинъ, съ лысиной и большими бакенбардами. Ни во что не ставящій другія уѣздныя власти.

Татьяна Ѳедоровна. Его жена. 36 лѣтъ. Высокая, худощавая женщина.

Елизавета Анфимогеновна. Ихъ дочь 18 лѣтъ. Дородная особа; немножко пришепетываетъ.

Евлампій Наумычъ Дудкинъ. Городской голова. 58 лѣтъ. Низенькій, толстый, съ большой лысиной и съ большой сѣдой бородой. Простъ и грубъ. Носитъ длинный сюртукъ и нюхаетъ табакъ.

Николай Васильевичъ Ребровъ. Судья. 40 лѣтъ. Средняго роста, плотный господинъ. Хвастливъ и обидчивъ.

Глафира Ивановна. Его жена, 28 лѣтъ, считаетъ себя первою красавицею въ губерніи.

Петръ Павловичъ Павловъ. Предсѣдатель уѣздной земской управы. 40 лѣтъ. Военный человѣкъ; высокъ, худощавъ. Прогрессистъ.

Митрофанъ Тимофеевичъ Фроловъ. Мировой посредникъ. 30 лѣтъ. Прогрессистъ.

Зинаида Карловна. Его жена. 25 лѣтъ. Низенькая женщина, бойкая. Помѣшалась на спектакляхъ. Прогрессистка.

Иванъ Иванычъ Ивановъ. Штатный смотритель. 50 лѣтъ. Худощавый, злой; любитъ подсматривать. Носитъ очки, въ которыя ничего не видитъ.

Капитонъ Степанычъ Окуневъ. Уѣздный стряпчій. 40 лѣтъ. Низенькій, бойкій, часто шаркаетъ ногами.

Софья Филипповна. Его жена 35 лѣтъ. Высокая, тучная женщина, командующая мужемъ.

Николай Петровичъ Антроповъ. Уѣздный почтмейстеръ. 55 лѣтъ. Невысокаго роста, плотный. Волоса зачесываетъ по-солдатски, безъ бакенбардъ и усовъ. Дома ходитъ въ халатѣ, въ другихъ мѣстахъ носитъ форменный сюртукъ. Простъ. Когда что-нибудь дѣлаетъ, носитъ очки.

Анна Николаевна. Его дочь. 20 лѣтъ. Недурна собой, но съ веснушками на лицѣ.

Никаноръ Васильевичъ Никитинъ. Учитель уѣзднаго училища. 29 лѣтъ. Высокій, худощавый и немного рябоватый.

Левъ Борисычъ Ведровъ. Уѣздный лѣкарь. 40 лѣтъ. Сплетникъ, ничего не дѣлающій и шляющійся изъ дома въ домъ. Городская почта.

Гурьевъ. Частный приставъ. 32 лѣтъ.

Павелъ Ивановичъ Гуляевъ. Содержатель городского трактира. 40 лѣтъ. Рябой.

Надежда Максимовна. Его жена 25 лѣтъ. Управляетъ трактиромъ.

Никита Ѳаденчъ Егоровъ. Столоначальникъ въ уѣздномъ судѣ.

Приказчикъ.

Филатовъ. Повѣренный старыхъ временъ.

Иванъ Степанычъ Моргуновъ. Почтальонъ. 60 лѣтъ.

Василій Ермоланчъ. Крестьянинъ.

Анюшка. Горничная Павлова.

Андрей. Лакей Павлова.

Мальчикъ въ трактирѣ.

Посѣтители въ почтовой конторѣ.

Гости въ клубѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ 1865 и 1866 годахъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Небольшая комната. Въ углубленіи дверь въ прихожую и въ контору. Около двери, налѣво, висятъ старинные стѣнные часы съ двумя обыкновенными гирями. Часы не ходятъ. Направо дверь въ другую комнату. Налѣво на двухъ окнахъ стоятъ банки съ цвѣтами. Окно, ближнее къ углубленію, открыто. Между оконъ стоитъ простой столъ, на которомъ лежатъ два круга съ перьями, топоръ, ножъ, молотокъ и коробка. Направо, на столѣ лежатъ: коробочка, какое-то шитье, ножницы и газета. Въ комнатѣ простая мебель. При поднятіи занавѣса Анна Николаевна мететъ вѣникомъ полъ; почтальонъ Моргуновъ слѣзаетъ со стула, стоящаго у часовъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Анна Николаевна и Моргуновъ.

Моргуновъ. Нейдутъ! Ужъ ты ихъ и такъ, и сякъ... Нѣтъ ли еще утюга-то? Можетъ, если будетъ больше тяжести, они и пойдутъ.

Анна Николаевна. Всего одинъ. И этотъ сегодня возьму рубашки гладить.

Моргуновъ. Ну, ужъ и часы! А тоже рубль заплатилъ... Давай сюда вѣникъ-то?

А. Николаевна. Ужъ чини часы-то: все хвастался,—хороши да хороши.

Моргуновъ. Были хороши! Сначала-то и я былъ красавецъ, а теперь что?.. Такъ и часы. Давай, говорю, вѣникъ-то. Это еще что за мода? *(выхватываетъ вѣникъ).*

А. Николаевна. Какой ты... право... Мнѣ нечего же дѣлать-то.

Моргуновъ. Читай книжечки. Нынче мода такая проявилась... Глядишь, иной и гроша не стоитъ, и тотъ съ книжкой, да не то чтобы съ божественной, а все о любви.

А. Николаевна. Ну, не все о любви. Отъ иныхъ книгъ можно многому выучиться.

Моргуновъ. Ну ужъ! Вонъ Никаноръ-то Васильичъ сколько этихъ книжекъ имѣетъ, а учитель—и только... И времена же, право, теперь. Прежде и въ губернскомъ-то городѣ много-много получалось двѣ-три газеты; а теперь вотъ и въ здѣшнемъ городѣ, то и знаешь, что газеты разносишь. И ничего—еще по пятачку даютъ. А дай ты мнѣ—ни за что не возьму.

А. Николаевна. И платятъ, хотя ты и не всѣмъ носишь. Вѣдь большая часть у насъ сами въ конторѣ получаютъ.

Моргуновъ. Развѣ это контора? Это чуланъ. Контора должна состоять изъ трехъ комнатъ.

А. Николаевна. *(садясь и принимаясь за шитье).* Развѣ папаша виноватъ, что ему на наемъ конторы и на канцелярскія принадлежности даютъ четыре рубля въ мѣсяцъ; да и на одиннадцати рублевомъ жалованьѣ не много напрыгаешь. Вотъ почему мнѣ и хочется самой все дѣлать. Я бы даже съ радостью кушанья готовила и бѣлье стирала, да папаша этого не хочетъ. Вѣдь вонъ, когда въ губернскомъ-то жили, мамаша все сама дѣлала. Только какъ сюда пріѣхала, такъ она стала важничать, кринолинъ завела, шляпку купила; ну, конечно, и стыдно стало...

Моргуновъ. Ты Анну-то Марковну не тронь. Анна-то Марковна была дочь почтальона, она любила всѣмъ управлять сама и никогда не держала кухарки, все сама обо всѣхъ старалась, никогда ни на что не жаловалась и рѣдко новыя платья шила. Она старое платье такъ передѣлаетъ, что и не узнаешь его. Ну, и надо же ей было отдохнуть. Поэтому тебѣ нечего надъ ней смѣяться, и я всегда заступлюсь за нее, потому я ее зналъ не одинъ десятокъ годовъ, да и тебя-то, кажется, съ купели принималъ... И я не хочу, чтобы ты, моя крестница и вдобавокъ почтмейстерская дочка, занималась черною работой. Читай, сколько хочешь, шей что ли, живи какъ барышня. Мнѣ это любо, да и Николаю Петровичу тоже. Вѣдь къ нему ходятъ въ гости не почтальоны... Прошла та пора, когда онъ въ бабки игралъ, а это было назадъ тому пять лѣтъ. Теперь онъ все съ судьей да съ кѣмъ... Онъ вѣдь здѣсь всѣмъ равенъ — и судьѣ, и прочимъ.

А. Николаевна. Здѣсь равенъ, а какъ въ губернскую контору пріѣдетъ, такъ въ мундирѣ на крыльцѣ настоится.

Моргуновъ. Много ты знаешь! Прежде бы настоялся: прежде почтмейстеры были собаки. Тогда все было просто. Вонъ Соловьевъ съ твоимъ отцомъ рыбу удилъ въ одной лодкѣ, и ничего, что Николай Петровичъ въ халатѣ; зато какъ Николай Петровичъ къ нему на квартиру пойдетъ мѣсто просить, — часа два въ коридорѣ сперва настоится. Это правда. А теперь вѣжливость. Чуть что, и въ газетѣ опишутъ.

А. Николаевна. Правда ли, что нынѣшній почтмейстеръ съ дырой въ головѣ?

Моргуновъ. А нешто у него не пустая голова? Провалиться, коли это не такъ... Что онъ за почтмейстеръ? Онъ только и умѣетъ что цѣлые сутки въ карты играть; онъ даже никогда не спустится почту раздѣлать или отправить. И какой онъ начальникъ? Ну, пусть онъ играетъ въ карты, намъ легче, однимъ поклономъ меньше, такъ вѣдь то обидно, что онъ хвастается: у меня въ почтамтѣ рука; мнѣ, говоритъ, стоитъ только дунуть туда, такъ и губернаторъ долой полетитъ. А самъ нѣтъ, чтобы писать: у насъ-де почтовые получаютъ грошевое жалованье... Онъ бы хоть о себѣ-то подумалъ: вѣдь не всегда же онъ выигрываетъ.

А. Николаевна. Что жъ ему заботиться о подчиненныхъ, когда ему хорошо. А можетъ быть, онъ еще хвастаетъ, что у него рука въ почтамтѣ; можетъ-быть, его потому послали къ намъ, чтобы онъ не болтался тамъ на глазахъ. Ну вотъ онъ и играетъ. А вѣдь ты знаешь: гдѣ карты, тамъ и закуска. Вотъ если проиграется, такъ по крайней мѣрѣ сытымъ домой уйдетъ.

Моргуновъ. Хорошо играть тому, у кого жалованье хорошее, а онъ почти въ десять разъ получаетъ меньше предсѣдателей, хотя и статскій совѣтникъ.

А. Николаевна. А вольная-то почта на что? Ну и купцы даютъ къ праздникамъ.

Моргуновъ. Ну, нынче, послѣ воли, и купчики-то поприжались. А хоть у его жены и есть помѣстье, такъ она и не живетъ съ нимъ. *(Уходитъ въ другую комнату).*

ЯВЛЕНІЕ II.

Анна Николаевна. Одна.

Анна Николаевна. Старикъ правъ. Неужели почталистъ не знаетъ, что почтовымъ трудно жить на одномъ жалованьѣ. Вотъ хотя мы. Когда жили въ губернскомъ, у папаши доходы были большіе, и у насъ всегда бывало четыре кушанья: а теперь доходовъ мало, жалованье небольшое, кухарку надо содержать, а на рынкѣ все дорого... Ну, варимъ щи да кашу или у насъ супъ да жаркое, а какъ папаша проиграется въ карты, и на щахъ сидимъ два или три дня. Вотъ и сегодня у насъ уха да жареная рыба, потому что папаша у Гуляева проигралъ десять рублей... Что это, въ самомъ дѣлѣ, онъ все туда ходить сталъ? Третьяго дня онъ даже съ женой Гуляева и со мной въ лодкѣ плавалъ?.. Она молодая, бойкая... Неужели тутъ что-нибудь скрывается?

ЯВЛЕНІЕ III.

Анна Николаевна и Никитинъ.

Никитинъ. Здравствуй, Аннушка *(подходитъ и цѣлуется).*

Анна Николаевна. Какъ ты... Тамъ крестный *(улыбается)*... Ты что же вчера не пришелъ?

Никитинъ. Некогда было, Аннушка. Я еще урокъ пріобрѣлъ у акцизнаго.

А. Николаевна. Поздравляю. А вчера папаша опять игралъ у Гуляева.

Никитинъ. Тутъ, должно быть, дѣло не просто. Вѣдь она молодая *(отдаетъ книгу)*. Вотъ тебѣ... Тутъ есть «Молотовъ». Кажется, эта повѣсть продолженіе «Мѣщанскаго счастія». *(тихо)* А у меня, Аннушка, есть до тебя большая просьба. *(Вынимая письмо и озираясь)*. Отошли, ради Бога, это письмо. Теперь мнѣ некогда объяснять, зачѣмъ я посылаю его, и въ чемъ оно заключается. Но ты отправь такъ, чтобы Николай Петровичъ не узналъ.

А. Николаевна. Не опасно?

Никитинъ. И, нѣтъ!.. Тутъ объ нашемъ смотрителѣ Ивановѣ *(цѣлуетъ ее)*. До свиданья.

А. Николаевна. Обѣдать придешь, Никаноръ? *(Моргуновъ въ дверяхъ)*.

Никитинъ. Некогда. Не забудь (*идетъ къ двери*).

Моргуновъ. Ишь, чортъ, и вниманія не обратилъ.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Анна Николаевна и Моргуновъ.

Моргуновъ *(заметая за Никитинымъ)*. Ходятъ-ходятъ, а толку мало.

Анна Николаевна. Ты чего ворчишь?

Моргуновъ. Да какъ!.. Ужъ цѣлый годъ, какъ цѣлуетесь...

А. Николаевна. Степанычъ... Всего только недѣля.

Моргуновъ. Смотри, чтобы не надулъ! *(Смотритъ на книжку)* А картинокъ нѣтъ?

А. Николаевна. Нѣтъ. *(Подзываетъ Моргунова пальцемъ)*. Вотъ что, крестный батюшка, у меня есть просьба... Ты вѣдь меня любишь?

Моргуновъ. Ну, говори. Мнѣ некогда разтабаровать-то.

А. Николаевна (*подаетъ письмо*). Отправь это письмо такъ, чтобы никто не узналъ.

Моргуновъ (*читаетъ*). Въ Петербургъ. Въ редакцію—... Что-то хитро... Это Никанора Васильевича?

А. Николаевна. Да, спрячь... А то папаша увидитъ.

Моргуновъ. Отправить—отправлю такъ, что и Николай Петровичъ подпишетъ реестръ и не узнаетъ... Только... какъ же это? Вѣдь онъ тебѣ женихъ.

А. Николаевна. Папаша еще ничего не знаетъ.

Моргуновъ. О-о!.. Хитрый вы народецъ... Ну да ладно (*разглядывая печать*).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и почтмейстеръ въ халатѣ и въ очкахъ. За правымъ ухомъ перо; во рту папироска.

Почтмейстеръ (*снимая очки*). А-а? Что прячешь-то, старый чортъ?

Моргуновъ. Ничего.

Почтмейстеръ. Какъ ничего?! Письмо!.. Ты, братъ, на старости лѣтъ, вѣрно, воровать выучился?

Моргуновъ. Еще первая собака облаяла...

Почтмейстеръ. Тебѣ марки снимать?! А!.. воръ!!!

Моргуновъ. На! провались... Спроси лучше ее, а потомъ огрызайся *(уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Почтмейстеръ и Анна Николаевна.

Почтмейстеръ *(смотря на письмо сквозь очки)*. Это Никитинъ ему далъ?

Анна Николаевна. Никаноръ Васильичъ приносилъ... Онъ хотѣлъ передать вамъ лично, но у васъ въ конторѣ мужики были.

Почтмейстеръ. Развѣ мужики не люди?.. Ты-то что за почтмейстеръ?

А. Николаевна. Говорю вамъ, — ему при другихъ неловко было... А ему нужно было именно вамъ отдать, потому что письмо секретное.

Почтмейстеръ. Могъ и страховымъ послать.

А. Николаевна. Онъ мнѣ говорилъ, что оно именно потому секретно, чтобы объ немъ смотритель Ивановъ не узналъ.

Почтмейстеръ. А!..

А. Николаевна. Папаша! У Никанора Васильича родня тамъ, въ редакціи... Редакторъ-то вѣдь въ университетѣ профессоромъ и товарищъ ему.

Почтмейстеръ. А-а! Ну?

А. Николаевна. Такъ Никаноръ недавно отъ редактора письмо получилъ. Онъ пишетъ, что коли здѣсь смотритель нехорошъ, то онъ выпроситъ Никанору Васильевичу мѣсто Иванова. Вотъ онъ и посылаетъ письмо редактору секретно отъ смотрителя.

Почтмейстеръ. Это было бы хорошо. А то, чортъ возьми, всю жизнь служи учителемъ грамматики!.. А тутъ еще онъ со смотрителемъ все споритъ. Ну, какое ему дѣло до того, что Ивановъ учениковъ стегаетъ?

А. Николаевна. Но вѣдь, папаша, теперь уничтожены тѣлесныя наказанія.

Почтмейстеръ. Для насъ съ тобой уничтожены. А ты загляни-ко хоть въ полицію, такъ и узнаешь, что еще не до всѣхъ дошли законы... Еще недавно исправникъ отодралъ своего писца за то, что тотъ скверно переписалъ срочное донесеніе... Ну, да ладно. Смотритель мнѣ не хотѣлъ подарить календарь за нынѣшній годъ, какъ подарилъ всѣмъ моимъ сотоварищамъ, и считаетъ меня хуже послѣдняго писца, такъ я же ему удружу: самъ впишу письмо въ реестръ, самъ запечатаю постъ-пакетъ

и ни одна шельма не узнаетъ, кому и отъ кого ушло письмо въ Петербургъ!

А. Николаевна *(вставая и убирая работу)*. А вѣдь вы со смотрителемъ, кажется, пріятели?

Почтмейстеръ. Пословица говоритъ: съ волками жить—по-волчьи и выть! У меня со смотрителемъ шапочное знакомство, т. е. я ему только кланяюсь; а онъ ни одни именины не пропуститъ, чтобы не напроситься на пирогъ. Я къ нему ни ногой, а онъ ко мнѣ на недѣлѣ хоть разъ да придетъ... Я ученыхъ людей небольно люблю за то, что они насъ ни во что ставятъ, а сами жить не умѣютъ; а этого ненавижу, во-первыхъ, за то, что онъ ребятишекъ больно сѣчетъ, зачѣмъ тѣ ему не приносятъ ни бумаги, ни чернилъ, ни стальныхъ перьевъ, а во-вторыхъ, за то, что онъ ужъ черезчуръ сталъ важенъ: недавно сталъ очки носить, хотя столько же видитъ въ нихъ, какъ я ночью сквозь кулакъ. Всѣмъ извѣстенъ анекдотъ, какъ ему однажды подали отчетъ, вотъ онъ и видитъ, что на отчетѣ чернильныя точки. Куда ни поглядитъ, все точки. А дѣло было ночью, утромъ надо отправлять отчетъ. Вотъ онъ и давай чистить. И прочистилъ отчетъ до дыры... Оказалось, что кто-то на очки капнулъ.

А. Николаевна. Вы говорите, онъ очки носитъ для хвастовства?

Почтмейстеръ. Изъ моды... А отчетъ-то онъ подписывалъ, пришедши изъ гостей и при учителѣ исторіи, который заставилъ его надѣть очки... И какой онъ смотритель, если я географію знаю лучше его. Онъ только тѣмъ и занимается, что подслушиваетъ у дверей, не говорятъ ли объ немъ чего-нибудь учителя ученикамъ. Однако, Аннушка, ты кажется ужъ очень сблизились съ Никаноромъ-то?

А. Николаевна. *(конфузливо)*. Папаша...

Почтмейстеръ. То-то. Смотри, чтобы у меня дѣло было чисто... Я непрочь. Онъ парень хорошій... Эдакой вѣдь секретникъ!.. Какъ ты думаешь, Аннушка, если у него пріятель имѣетъ значеніе, и Никитина сдѣлаютъ смотрителемъ, можетъ Никитинъ выхлопотать мнѣ награду? Только награду. Орденовъ мнѣ не надо, потому что за нихъ нужно платить деньги...

А. Николаевна. Конечно, можетъ. И можетъ только послѣ свадьбы. Вѣдь вы не прочь, папаша?

Почтмейстеръ. Разумѣется. *(Обнимаетъ ее)*. Только смотри, чтобы не надулъ. Нынче люди хитрые.

А. Николаевна. Онъ не такой *(уходитъ въ прихожую)*.

Почтмейстеръ. Ну, слава Богу. Жаль только, что онъ учитель грамматики. Ну да вѣдь и я-то женился, когда былъ почталіономъ. Только у меня тогда свой домъ былъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Почтмейстеръ и Надежда Максимовна.

Надежда Максимовна. Я къ вамъ.

Почтмейстеръ. *(растерявшись)*. Извините-съ! *(убѣгаетъ въ комнату)*.

Н. Максимовна. Въ третій разъ я въ этомъ домѣ: въ первый разъ была, когда были влазины—годовъ десять тому будетъ, во второй, какъ хоронили его жену, и вотъ теперь. Говорятъ, у него есть деньги, онъ къ намъ ходитъ и, кажется, заглядывается... Мой муженекъ вѣтренникъ, немножко глупъ и пристрастился къ этимъ простячкамъ, чтобы выманивать деньги посредствомъ картъ... Попробую, можетъ-быть, и мнѣ удастся.

Почтмейстеръ *(является въ сюртукѣ)*. Милости прошу.

Н. Максимовна. Какой у васъ хорошій домикъ.

Почтмейстеръ. Да-съ! Шестьсотъ рублей издержалъ на одну поправку.

Н. Максимовна. Я къ вамъ по дѣлу... Знаете ли что? я хочу завести торговлю...

Почтмейстеръ. На рынкѣ?

Н. Максимовна. Нѣтъ! Въ нашемъ домѣ... Нынче можно всѣмъ торговать виномъ, такъ вотъ я хочу открыть заведеніе на свое имя... Но денегъ у меня нѣтъ, мужъ пьяница.

Почтмейстеръ. Онъ тогда совсѣмъ сопьется.

Н. Максимовна. И пусть... Такъ вотъ я къ вамъ... Не одолжите ли вы мнѣ подъ вексель рублей двѣсти.

Почтмейстеръ. Гм! Я въ долгъ не даю, потому что держусь такого правила: дать—значитъ не получить обратно.

Н. Максимовна. Но я не изъ такихъ.

Почтмейстеръ. Я вамъ вѣрю. Но у меня нѣтъ такихъ денегъ.

Н. Максимовна. Ну, полноте... Или жениться собираетесь?

Почтмейстеръ. Нѣтъ... Я старъ...

Н. Максимовна. О, вы еще многихъ перещеголяете.

Почтмейстеръ. Гдѣ ужъ... Не тѣ года... Ужъ меня никто не полюбитъ.

Н. Максимовна. Жаль, что я замужняя.

Почтмейстеръ. Вы!! О!.. Нѣтъ, вы очень молоды, а я старъ. *(Про себя)*. Прелесть. Ахъ, зачѣмъ я старъ, и она замужемъ?

Н. Максимовна. Такъ не дадите денегъ?

Почтмейстеръ. Дайте подумать. *(Про себя)* Это дьяволъ соблазнитель! *(Надеждѣ Максимовнѣ)* Я все жалѣю, что вашъ домъ не на тракту. Хорошо бы было... около васъ.

Н. Максимовна *(грозитъ пальцемъ)*. О, плутъ! Такъ вы подумайте, можно ли мнѣ дать... Я черезъ полгода возвращу.

Почтмейстеръ. Я взвѣшу... съ полнымъ удовольствіемъ. *(Про себя)* Ахъ...

Н. Максимовна. До свиданья! *(беретъ за руку почтмейстера)*.

Почтмейстеръ. Прошу... напредки... (*уходитъ за Надеждой Максимовной*).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Почтмейстеръ, голова и Анна Николаевна.

Голова. Поздравляю! Ишь для Гуляихи такъ и сюртукъ напялилъ, злодѣй. Ну да ничего, братъ, мужъ-то у нея только безпутный человѣкъ. А я къ тебѣ самъ. Нынче довѣрять большія суммы опасно. (*Глядитъ на столъ*) О, другъ! (*качаетъ головой Аннѣ Николаевнѣ*). Плохо вы за нимъ смотрите!

Анна Николаевна. Что такое?

Голова. Эти колеса до чего-нибудь доведутъ его.

Почтмейстеръ. Когда деньги сдавать, пойдемте, а то контору запру.

Голова. А запрешь, такъ и головы сахару не получишь.

(*Уходятъ въ прихожую*).

А. Николаевна. Бѣда да и только... Прежде, какъ въ губернскомъ городѣ жили, папаша никуда не ходилъ въ гости, а здѣсь еще при мамашѣ связался съ купцомъ Гуляевымъ. Теперь чуть свободное время да ненастье, и идетъ туда. Мнѣ, говоритъ, скучно дома, я, говоритъ, тамъ въ карты играю, обыгрываю его, судью и стряпчаго. Зачѣмъ она приходила? Ужъ не проигралъ ли онъ что-нибудь больше или не побилъ ли самого? Вѣдь папаша, какъ выпьетъ, его не скоро уймешь... Батюшки, посредница пріѣхала! (*уноситъ со стола шитье въ комнату*).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Зинаида Карловна и Почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Прошу покорно. Аннушка?

Зинаида Карловна. Я на минутку къ Аннѣ Николаевнѣ.

Почтмейстеръ. Аннушка?

(*Анна Николаевна входитъ; почтмейстеръ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ X.

Зинаида Карловна и Анна Николаевна.

Зинаида Карловна. Бонжуръ, душечка! Извините, что я такъ рано, безъ церемоніи и безъ приглашенія.

Анна Николаевна. О, я очень рада. Чѣмъ я васъ угощать буду?

З. Карловна. Что вы! Я вѣдь не держусь здѣшнихъ обычаевъ, а такъ, экспромптомъ пріѣхала... Да вы что суетитесь-то (*про себя*), какъ дикарка! (*Аннѣ Николаевнѣ*). Что подѣлываете? Отчего, душечка, васъ нигдѣ не видно? Вы, кажется, только и ходите, что въ церковь.

А. Николаевна. У насъ знакомыхъ нѣтъ... Я хожу на рынокъ.

З. Карловна. Я и сама *ѣзжу* на рынокъ, и въ кухнѣ *сама* готовлю кушанья... Знаете, женщинѣ необходимо работать... У меня хозяйство большое... Отчего вы ко мнѣ не заѣдете? Вы бы съ вашимъ папашей когда-нибудь отъ обѣдни взяли да и зашли къ намъ.

А. Николаевна. Благодарю.

З. Карловна (*вслушиваясь*). Кто это играетъ? Кажется, на скрипкѣ?

А. Николаевна. Городская почта! (*поправляясь*) Лѣкарь. Его здѣсь всѣ называютъ городской почтой, потому-что онъ скорѣе всѣхъ узнаетъ новости. Онъ только и дѣлаетъ, что на скрипкѣ играетъ.

З. Карловна. Что же дѣлать: здѣсь такая скука... А вы любите спектакли?

А. Николаевна. Когда мы въ губернскомъ городѣ жили, я часто ходила въ театръ. А здѣсь нѣтъ театра.

З. Карловна. А вотъ я хочу устроить литературно-музыкальный вечеръ.

А. Николаевна. Это хорошо... Что же... какъ,—за деньги?

З. Карловна. Да, публика будетъ за деньги впускаема. Знаете ли что? Мнѣ Никаноръ Васильичъ говорилъ, что вы отлично читаете вслухъ.

А. Николаевна (*краснѣя*). Нѣтъ... Я не умѣю читать.

З. Карловна. Вотъ скромница-то... Не притворяйтесь, душечка. Объ васъ весь городъ говоритъ, что вы умѣете читать. Вотъ я и пришла къ вамъ съ предложеніемъ.

А. Николаевна. Съ какимъ?

З. Карловна. Предложеніе это идетъ отъ всего здѣшняго передового общества. Васъ просятъ читать.

А. Николаевна (*про себя*). Боже мой! И выдумаютъ же...

З. Карловна (*про себя*). Какъ испугалась-то! Вотъ что значитъ неразвитость! (*Аннѣ Николаевнѣ*). Вы, душечка, не бойтесь. Вы только прочитаете—и все тутъ.

А. Николаевна. Нѣтъ ужъ...

З. Карловна. Ну, полноте, душечка. Предварительно мы сдѣлаемъ репетицію, т. е. вы прочитаете у меня...

А. Николаевна. Нельзя ли кого другого...

З. Карловна (*про себя*). А, какая дура! (*Аннѣ Николаевнѣ*). Знаете, этотъ вечеръ устроивается въ пользу бѣдныхъ... Душечка! Согласитесь... Кромѣ васъ, право, некому.

А. Николаевна. А исправницкая дочь?

З. Карловна. О, она пришепетываетъ. Жена стряпчаго гнуситъ, акцизнаго—слѣпая, сестра судебнаго слѣдователя никакъ не можетъ читать потому, что ея первый мужъ былъ капитанъ и помощникъ смотрителя военнаго госпиталя. Анна Николаевна! да если разбирать всѣхъ нашихъ уѣздныхъ аристократокъ, то къ чему мы прійдемъ? Вотъ почему я обратилась къ вамъ съ просьбой. Вечеръ состоится еще не скоро.

А. Николаевна. Не знаю... Я право не умѣю.

З. Карловна. Ну, полно... *(вставая)*. Однако, какъ я долго засидѣлась! Мнѣ еще въ два-три мѣста надо съѣздить... Итакъ я васъ жду... сегодня вечеромъ вмѣстѣ съ Николаемъ Петровичемъ *(уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ XI.

Анна Николаевна.

Анна Николаевна. Что бы это значило? Ни я у нея, ни она у меня ни разу не бывала, а только я познакомилась съ ней у смотрительши... Что это за честь? Это непремѣнно насмѣшка... И къ чему она приплела тутъ Никанора Васильича?

ЯВЛЕНІЕ XII.

Почтмейстеръ и Анна Николаевна.

Почтмейстеръ. Ну что?... Поди, шитье какое-нибудь навѣшиваетъ.

Анна Николаевна. Вотъ и не знаете... Отгадайте-ка. Если отгадаете, братчикъ пріѣдетъ; если нѣтъ—не пріѣдетъ.

Почтмейстеръ. Ну, я никогда не гадалъ, потому что въ ворожбу не вѣрю... Письмо припринесла? Поди, секретно отъ мужа своему любовнику.

А. Николаевна. Нѣтъ.

Почтмейстеръ. Хорошо. Нарочно сегодня всю корреспонденцію самъ запишу.

А. Николаевна. Да нѣтъ же. Она приглашаетъ меня къ себѣ читать.

Почтмейстеръ *(удивленный)*. Чего читать?

А. Николаевна. Книжку, папаша... Помните, какъ въ губернскомъ господа читали въ клубѣ. Такъ вотъ она и приглашаетъ меня, чтобы я читала при публикѣ.

Почтмейстеръ. Часъ отъ часу не легче! Ну, что же ты?

А. Николаевна. Не знаю, какъ вы?

Почтмейстеръ. Что же! Иди и не приходи назадъ!.. *(ходитъ въ волненіи)*. Ишь выдумали, чтобы моя дочь, моя кровь, потѣшала молокососовъ, дармоѣдовъ и разныхъ бѣлоручекъ. Дудки! Не на таковскихъ напали. Я, матушка, нужды нѣтъ, что вышелъ въ люди изъ поддонковъ, а цѣну себѣ знаю... Меня всѣ губернскіе почтмейстеры любили; меня всѣ губернскіе тузы уважали, и я со всѣми былъ за панибрата... Я не одного молокососа на ноги поставилъ, въ люди вывелъ... Возьми Николаева, Павлова, Степанова... Кто они были назадъ тому пятнадцать лѣтъ? Николаевъ былъ опредѣленъ въ почтальоны кончившимъ курсъ въ приходскомъ училищѣ, а цѣлый годъ писалъ по графкамъ и надписывалъ на тюкахъ мазилкой; Павловъ, когда былъ старшимъ надъ почтальонами, вмѣсто девятисотъ двѣнадцати говорилъ девяносто двѣнадцать; а Степанова часто за воровство почтмейстерской наливки съ погреба въ конюшнѣ драли... А теперь смотри: Николаевъ письмоводитель, всей губерніей правитъ. Безъ Николаева ничего не дѣлается: онъ и опредѣляетъ, и увольняетъ, и всѣ каверзы прикрываетъ, а почтмейстеръ только подписываетъ. Павловъ контролеръ, а Степановъ почтмейстеръ. И вотъ они меня уважаютъ, ни одна шельма ко мнѣ не можетъ придраться, потому что Николаевъ все обдѣлаетъ, да и я такъ отписываюсь точно, четко и мѣтко, что только язычекъ прикусишь. А тутъ?... А!! они хотятъ насмѣяться надо мной за то, что я старъ, не говорю по-французски, пишу ять, какъ мнѣ хочется... Это все модники выдумали. Они думаютъ, что если я старый служака, честенъ, бѣденъ и простъ, такъ мной и можно вертѣть, какъ угодно... Покорно благодарю *(уходитъ въ прихожую)*.

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Анна Николаевна *одна*.

Анна Николаевна. Ну, разсердился папаша. Теперь цѣлый день будетъ ворчать. И выбрала же она именно меня въ читальщицы, а не другую какую-нибудь... Вонъ, я думаю, сестры казначея съ охотой бы пошли, потому что онѣ немножко полоумныя: волосы остригли и читаютъ книжки, да того да другого изъ пріѣзжихъ зазываютъ къ себѣ... Ну да имъ дурить-то можно, потому что у казначея много денегъ... И какъ это, въ самомъ дѣлѣ, читать при публикѣ? Въ книгахъ пишутъ, какъ любовники цѣлуются, обнимаются... Да тутъ со стыда сгоришь... Еще замужней женщинѣ ничего,—не такъ стыдно, и то развѣ въ кругу пріятельницъ. А тутъ, на-вотъ: соберутся холостые мужчины для того, чтобы смотрѣть, какъ читаетъ дѣвушка про любовь... И какъ это, право, нынче все какъ-то не такъ: мужчины только и толкуютъ о какихъ-то преобразованіяхъ, да о смѣнѣ губернскаго начальства, женщины читаютъ книжки, курятъ папироски, и чуть какая-нибудь жена писца сдѣлается чиновницей, ужъ заводитъ кухарку, хотя и самимъ нечего ѣсть. На что, даже солдатки, и тѣ стали носить шляпки. *(Подходитъ къ открытому окну)*. Значитъ двѣнадцатый часъ: засѣдательша пьетъ у окна кофей и куритъ папироску *(кланяется)*. Покорно благодарю... Она къ папашѣ пріѣзжала... *(Отходитъ)*. Вотъ она жизнь-то! Теперь уже весь городъ узналъ, что у насъ была жена мирового посредника; намъ станутъ завидовать, потому что посредникъ всѣхъ здѣшнихъ должностныхъ лицъ даже въ грошъ не ставитъ, и у него даже нынче самъ губернаторъ былъ на обѣдѣ... Да. Здѣсь ничего не утаишь, каждый только и живетъ новостями у сосѣдей. Прежде мы жили въ кучкѣ—почтовые съ почтовыми, до остальныхъ людей намъ и дѣла не было, да и горожане не знали, что у насъ дѣлается, въ нашей солдатской казармѣ. А здѣсь не то: всѣ ведутъ себя просто, ходятъ на именины, свадьбы, крестины и обижаются, если кто кого-нибудь къ себѣ не пригласилъ, самъ не пришелъ къ кому-нибудь. Зато какъ всѣ просты: мужчины пьютъ, ѣдятъ и играютъ въ карты, остря другъ надъ другомъ, непремѣнно разругаются вечеромъ, а утромъ какъ ни въ чемъ не бывало—опять дружны: дамы выхваляютъ свои перешитыя изъ стараго

платья, сплетничаютъ... (*Уходитъ въ прихожую*).

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Не несетъ ее, будь она проклята!.. Опять, поди, послали какую-нибудь пьяницу (*уходитъ въ комнату и приходитъ въ халатѣ. Подходя къ столу съ работой*) Ну, любезнѣйшіе (*садится*). Голь на выдумки хитра, говоритъ пословица, такъ и я. Надо же чѣмъ-нибудь жить: на одиннадцати-рублевомъ жалованьи не много наскачешь. Хорошо еще, что я домъ купилъ да кое-кто изъ купцовъ посылаетъ на Рождество и на Пасху сахару, чаю и вина; а эти доходы со станцій такъ и идутъ въ губернскую контору, потому что вѣдь и тѣмъ надо же чѣмъ-нибудь жить... (*Смотритъ перья*). И все вѣдь я самъ своимъ умомъ дошелъ, нужды нѣтъ, что самоучкой выучился грамотѣ; теперь даже не читаю никакихъ книгъ, да «Биржевыя Вѣдомости» посылаю кому надо, а мнѣ на нихъ наплевать, потому, если и зашлешь куда-нибудь постъ-пакетъ,—невелика важность: я вѣдь одинъ только съ Моргуновымъ управляюсь... А славная будетъ штука, если я къ лодкѣ колеса устрою, какъ слѣдуетъ! Въ прошлый разъ пробовалъ—такъ въ пять минутъ всю рѣку переплылъ, тогда какъ на веслахъ надо было пластаться двадцать минутъ... Только разсохлись. Ну да ничего... А славно! Тогда отъ нечего дѣлать я буду плавать въ село Покровское, и тамъ Моргуновъ будетъ разносить письма... Нѣтъ, этого мало. Я поѣду въ губернскій, сдѣлаю опытъ и буду хлопотать, чтобы мнѣ дали большую лодку, дали досокъ, винты и прочее... И тогда я... въ отставку выйду. Ей-Богу!.. Теперь у насъ суда ходятъ только до здѣшняго города, а вверхъ не ходятъ. Вотъ я и буду перевозить. Да я тогда озолотѣю... До пенсіона-то осталось всего только три мѣсяца, а къ тому времени лодка будетъ готова. Одно вотъ скверно: зима. Ну, зимой я еще что-нибудь придумаю для колесъ, усовершенствую такъ, чтобы всѣмъ было на удивленіе... Теперь времена настали тяжелыя: все подорожало. А подорожало оттого, что отъ помѣщиковъ крестьянъ отняли, на крестьянъ увеличили оброки, помѣщики прижались, потому что доходъ у нихъ теперь маленькій, приходится натягивать зубами; чиновники стали меньше получать доходовъ, потому что начальство мѣняется часто, и по пріѣздѣ въ каждомъ старикѣ видитъ взяточника, слушаетъ молодежь, которая никому долговъ не платитъ... И все-то нынче не то! Прежде вонъ самъ губернаторъ съ чиновниками рыбу удилъ, а нынѣ и писецъ стыдится итти по городу съ палкой. Прежде одѣвались, какъ попало, а теперь носи форменный сюртукъ, манишку, галстукъ, стриги волосы, бороду брей и кури въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы начальство не увидало, хотя начальство и само куритъ табакъ, только въ кабинетѣ. Прежде въ губернскомъ всѣ жили дружно, а теперь каждый старается начальству выслужиться, одѣться почище да получить хорошее мѣсто... Теперь другое. Прежде мужика кто угодно билъ и дралъ, какъ могъ, а теперь—сами губернскіе тузы въ театрѣ да въ клубѣ комедіи играютъ въ пользу бѣдныхъ; а молодые только и говорятъ о томъ, что мужиковъ надо сдѣлать равными. Куды какъ милостивы да жалостливы сдѣлались. На что нашъ городъ дрянь, кабы не рѣка—совсѣмъ ему тутъ и быть не слѣдовало, и тутъ эта мода проявилась: посредникъ и слѣдователь чуть не цѣлуются съ мужиками. Только на дѣлѣ выходитъ, что они мягко стелютъ да другимъ-то спать жестко. Вотъ они времена-то. А перемѣнъ сколько? Сколько на моихъ глазахъ въ отставку выгнали, да еще какихъ тузовъ-то? Сколькихъ подъ судъ отдали! Уму непостижимо! Жалости достойно! Только вотъ еще нашего брата Богъ милуетъ... Куда вѣдь въ насъ всякъ нуждается, и мы никому не мѣшаемъ. (*Стругаетъ*). А въ самомъ дѣлѣ пріятно, какъ другіе то-и-дѣло летятъ къ чорту на вечеринку, а тебя не трогаютъ, ты все служишь да служишь. Впрочемъ, много зависитъ отъ того, кому служить слѣдуетъ. А я свою службу понимаю такъ, что я служу обществу. Прежде я денежныя письма самъ относилъ купцамъ на домъ, а теперь вся сила въ новыхъ людяхъ: чуть только успѣешь раздѣлать почту, и посылаешь письма и пакеты посреднику, слѣдователю и акцизному, а у каждаго изъ нихъ въ губернскомъ сильная протекція... Ну, около нихъ и полезно, и полебезишь, когда случится, а что касается до другихъ—судьи и прочихъ, такъ я вижу, какъ новые люди съ ними обращаются. Да, трудно жить на свѣтѣ; и новыхъ людей по головкѣ гладь, и со старыми будь пріятель. (*Заглядывая въ окно*). Ну! Чортъ несетъ... Что-то судья частенько сталъ нынче ко мнѣ ходить, онъ, должно быть, все ждетъ новыхъ судовъ... И выдумаютъ же, право...

ЯВЛЕНІЕ XV.

Почтмейстеръ и Ребровъ.

Ребровъ. Вотъ служба-то! уже заперся.

Почтмейстеръ. Какъ отъ васъ не запираться. Если у меня постоянно будутъ двери отперты, такъ вы и судъ забудете.

Ребровъ. Шутникъ же ты. Слышалъ новость?

Почтмейстеръ. Еще не пришла почта, а придетъ — я первый всѣ новости земного шара узнаю. А городской почтѣ—этому лѣкаришкѣ — я не вѣрю.

Ребровъ. Не хвастайся, братъ: ты и обязательной для тебя газеты никогда не читаешь!

Почтмейстеръ. Стану я глаза портить.

Ребровъ. А вотъ новость: вчера пріѣхалъ изъ губернскаго нарочный. Павловъ получилъ должность предсѣдателя уѣздной земской управы. Что? Охъ, ты почта, почта!

Почтмейстеръ. Ну, что жъ! Вѣдь нарочный-то на почтовыхъ лошадяхъ пріѣхалъ, я думаю... Гм! Еще новое присутствіе. Такъ, значитъ, не шутятъ! Это, значитъ, по вольности дворянства: безъ жалованья земскую гоньбу содержать.

Ребровъ. Да ты вотъ еще что возьми во вниманіе: будутъ гласные изъ дворянъ и крестьянъ.

Почтмейстеръ. Ишь ты. А почта?

Ребровъ. Почту отъ почтовыхъ отнимутъ.

Почтмейстеръ. Кто смѣетъ отнять почту? Вы думаете, что всѣхъ почтмейстеровъ, сортировщиковъ и почтальоновъ пошлютъ по-міру?.. О-охъ вы! Скорѣе васъ съ вашимъ судомъ выгонятъ, чѣмъ насъ.

Ребровъ. Ну этого, братъ, ты не смѣй говорить.

Почтмейстеръ. Чего! Губа-то вѣрно не дура. Ужъ ходятъ слухи, что васъ тамъ въ Петербургѣ ломаютъ.

Ребровъ. Посмотримъ! Вотъ ужъ земство учредили...

Почтмейстеръ. А судебные слѣдователи?

Ребровъ. Съ тобой пива не сваришь. Мы у тебя со стряпчимъ и лѣкаремъ играемъ сегодня.

Почтмейстеръ. Со своей водкой и закуской.

Ребровъ. Скряга ты, скряга. Ну, прощай! Я на пирогъ вѣдь къ Павлову.

Почтмейстеръ. Какъ вы падки до пироговъ-то! *(судья уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. Желалъ бы я тебѣ подавиться пирогомъ-то! Вотъ тебѣ и разъ! Отнять присутственное мѣсто. Надо разспросить у Никитина, что это за штука? Оно хотя и болтали объ этомъ земствѣ у насъ, да я плохо слушалъ, потому что это меня не касается: будутъ пакеты, пошлю—и все тутъ. Только, неужли въ самомъ дѣлѣ теперь будутъ дворяне возить почту и проѣзжающихъ?.. Только это непонятно. Тогда должны прогоны увеличиться. Нѣтъ тутъ что-то того. А мужики-то тутъ къ чему? Это судья и самъ-то ничего не понимаетъ. Тутъ... тутъ (*нюхаетъ воздухъ*) пахнетъ!!.. Тутъ опять этотъ прогрессъ замѣшался... А я и не поздравилъ Павлова... Ну да наплевать: онъ такой богатый и гордецъ, что не приведи Богъ... А если? (*Анна Николаевна въ дверяхъ*).

А. Николаевна. Папаша, кушать пожалуйте.

Почтмейстеръ. Итти, али нѣтъ? *(ворожитъ: зажимаетъ глаза и старается свести одинъ на другой указательные пальцы обѣихъ рукъ).* А чортъ съ нимъ,—не выходитъ—и не пойду (*уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Софья Филипповна и уѣзный лѣкарь.

Софья Филипповна (*входя и оглядываясь*). Никого нѣтъ! (*заглядывая въ комнату*). Нѣту. (*Слушаетъ въ дверяхъ прихожей*). Тихо... хоть бы одна собака... (*садится*). Зачѣмъ это посредница пріѣзжала? Отчего она ко мнѣ не пріѣхала, а къ ней?.. Вѣдь мой мужъ стряпчій, а ея отецъ... почтмейстеръ, глупъ, пустая башка. Что это за должность? Это не должность, а богадѣльня... Они вѣрно обѣдаютъ. Пойду въ кухню... (*Встаетъ*).

Лѣкарь (*входя*). И ты здѣсь!

С. Филипповна. А вы не у Павлова? Мой мужъ къ нему на обѣдъ позванъ.

Лѣкарь. Ну, это неизвѣстно.

С. Филипповна. Нѣтъ, извѣстно. А васъ вѣрно не приглашали, такъ вы и пришли сюда (*уходитъ*).

Лѣкарь (*смотря въ дверь за Софьей Филипповной*). Сказалъ бы я тебѣ, какъ твой мужненекъ около Гуляевой ухаживаетъ... (*Ходитъ*). Фу, чортъ возьми! Павловъ не принялъ. Вотъ что значитъ получить хорошее мѣсто. Подлецъ! Раньше говорилъ, что я (*гнуситъ*) васъ опредѣлю по земству, если меня утвердятъ... А тутъ говорятъ, жена посредника у почтмейстера была... Штука, чортъ возьми...

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Лѣкарь, штатный смотритель и стряпчій (оба въ мундирахъ со шпагами).

Смотритель (*входя стряпчему*). Нѣтъ это что-нибудь да значитъ! (*Лѣкарю*) А! мое почтеніе.

Лѣкарь. У Павлова были?

Смотритель. Еще собираемся.

Лѣкарь. Софья Филипповна говорила, что вы уже обѣдаете у Павлова... Теперь вы какое блюдо изволите кушать? (*хохочетъ*).

Стряпчій. Вѣрно, и васъ не приняли; хоть вы и называетесь городской почтой, а мы знаемъ, что васъ не приняли.

Лѣкарь. Меня звали на вечеръ...

Смотритель. Вотъ ужъ не повѣрю!

Лѣкарь. Да, насъ позвали, а васъ нѣтъ.

Стряпчій. Скотина вы препорядочная!

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Тѣ же и почтмейстеръ.

Лѣкарь. Покорно благодарю!

Почтмейстеръ. Господа, господа! неприлично. Почта идетъ.

Стряпчій. А къ чорту вашу почту.

Лѣкарь. Осердились, что Павловъ не принялъ. А вотъ меня пригласили на вечеръ. Вѣдь васъ тоже приглашали, Николай Петровичъ.

Почтмейстеръ. А что?

Лѣкарь. Полноте (*подмигивая почтмейстеру*). Къ вамъ затѣмъ и пріѣзжала жена посредника.

Смотритель (*лѣкарю*). Вы всегда суетесь, какъ куръ во щи! Стыдитесь, почтеннѣйшій эскулапъ.

(*Слышенъ звонъ колокольчиковъ*).

Почтмейстеръ. Извините, господа. Почта идетъ! Служба. (*Подходитъ къ окну: за нимъ подходятъ и другіе*). Ну такъ и есть—не пріі-

ѣхалъ... А почталіонъ-то! Пьянъ, только голова болтается (*уходитъ*).

Смотритель (*стряпчему*). И какая невѣжа этотъ Павловъ!.. Стояли, стояли, какъ передъ губернаторомъ.

Стряпчій. Я ему отомщу!.. Ни одного журнала не пропущу!..

Смотритель. Скверно, если его вдругъ сдѣлаютъ почетнымъ смотрителемъ!

Лѣкарь. Не сыграемъ ли въ стуколку?

(*Въ прихожей суетня*).

Стряпчій (*лѣкарю*). Ужъ вы подите на вечеръ.

Смотритель (*стряпчему*). Съ нимъ опасно играть: вѣдь онъ по земству служитъ!.. (*хохочетъ*).

Лѣкарь. А, да полно вамъ!.. Неужели не о чемъ о другомъ разговаривать?

Смотритель. О чемъ же? О мальчишкахъ что ли?

Лѣкарь. Хорошъ же вы педагогъ, что не умѣете занять товарищей чѣмъ-нибудь.

Стряпчій. Экая вы барышня!.. Пойдемте лучше въ контору, поможемъ старику раздѣлать почту.

Почтмейстеръ (*входитъ, держитъ въ одной рукѣ письмо, въ другой очки*). Не пріѣхалъ. (*Надѣваетъ очки, гости обступаютъ его. Читаетъ*) «никакъ не могъ пріѣхать, потому что ждемъ изъ министерства ревизора».

Стряпчій (*съ испугомъ*). Какого?

Почтмейстеръ. Разумѣется, по ихней части.

Стряпчій. Такъ надо итти поздравить Тимофеева.

Почтмейстеръ (*читаетъ*). «У насъ ждутъ съ часу на часъ манифеста о гласномъ судѣ...

Стряпчій. О какомъ гласномъ судѣ?

Почтмейстеръ. Это по вашей части, т. е. васъ по шапкѣ (*уходитъ*).

Смотритель. Наконецъ-то у насъ будутъ суды гласные,—разговорные, а не письменные. Вѣроятно, составъ будетъ новый, и старыхъ оставятъ за штатомъ.

Стряпчій. Вы это почему знаете?

Смотритель. Вотъ мило! Объ этомъ уже давно пишутъ.

Стряпчій. Врутъ!

Лѣкарь. Ничего... Судейскихъ погонятъ, а мы останемся. Пойдемте, Иванъ Иванычъ, къ судьѣ, обрадуемте его (*хочетъ итти*).

Стряпчій. Это еще... предположеніе. Манифеста нѣтъ и не будетъ (*лѣкарю*). Вы куда же?

Лѣкарь. Къ судьѣ (*идетъ*).

Смотритель. И я тоже. Здѣсь ничего не высидишь (*идетъ*).

Стряпчій. Постойте! (*суетится*). Черти! постойте!! (*уходитъ за ними*).

ЯВЛЕНІЕ XX.

Анна Николаевна и Никитинъ.

Анна Николаевна. Слава Богу, ушла. А эта жена стряпчаго такъ и осталась съ носомъ. Ухъ какъ она разсердилась, когда мы не хотѣли сказать ей: зачѣмъ пріѣзжала жена посредника... Жаль, что Вася не пріѣхалъ.

Никитинъ. Что жъ ему дѣлать въ нашемъ городѣ, если онъ жениться собирается.

ЯВЛЕНІЕ XXI.

Тѣ же и почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. (*Входя съ бумагой*). Вотъ! Вотъ до чего я дослужилъ! (*кладетъ бумагу на стулъ и садится въ волненіи*). Ахъ, бѣда какая!.. А у меня и документы не подшиты!

Анна Николаевна и Никитинъ. Что такое?

Почтмейстеръ. Что? А то, что изъ самаго почтамта ревизоръ пріѣхалъ въ губернскую контору... Охъ!.. Панъ или пропалъ... Уберите вы со стола-то эти препараты. (*Встаетъ и, поднимая бумагу, тычетъ въ нее кулакомъ*) О... каверза!!

Никитинъ. Да вѣдь ревизоръ еще въ губернскомъ...

Почтмейстеръ. (*сердито*). Чего?

А. Николаевна (*кидаясь на шею почтмейстеру*). Папаша, я подошью ваши документы.

Почтмейстеръ. Помощники!.. Вамъ все бы смѣяться... О-охъ вы, помощники! (*скрипитъ зубами, Анна Николаевна цѣлуетъ отца, Никитинъ суетится; Моргуновъ выглядываетъ въ дверь и качаетъ головой*).

Занавѣсъ падаетъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Сцена первая.

Кабинетъ Павлова. Въ углубленіи на стѣнѣ висятъ картинки въ позолоченныхъ рамахъ, у стѣны диванъ, передъ диваномъ столъ, заваленный книгами, бумагами и газетами, подъ столомъ плетеная коробка. Направо дверь, налѣво два окна. При поднятіи занавѣса Павловъ въ шелковомъ на мѣху халатѣ сидитъ въ большомъ креслѣ за столомъ, облокотившись на столъ, куритъ сигару и читаетъ газету. На ногахъ у него туфли, вышитыя золотомъ. Между нимъ и диваномъ стоитъ стулъ, на стулѣ тазъ; около стула стоитъ Андрей и держитъ полотенце

ЯВЛЕНІЕ I.

Павловъ и Андрей.

Павловъ (*не отрываясь отъ книги*). Примачивай, любезный, примачивай!

Андрей (*накладывая полотенце на голову Павлова, въ сторону*). Должно, угорѣлъ вчера на пикникѣ-то... Прежде никогда не устраивали эти пикники... А теперь... Вина, кажется, бутылокъ пятьдесятъ выпили.

Павловъ. У, братецъ!.. Я думаю, можно и осторожнѣе.

Андрей (*снимая полотенце*). Вамъ бы, ваше высокородіе, доктора позвать.

Павловъ. А! тебѣ лѣнь... Ахъ, ему конфузно... Я и забылъ, что вы вольный. Ну, виноватъ! можете итти хоть сейчасъ.

Андрей. Помилуйте, ваше высокородіе! Какое же это лѣкарство! Это холодная вода.

Павловъ. Потрудитесь принести вашу разсчетную книжку: надо сосчитать, сколько вы должны мнѣ. Извольте убираться... Я не могу терпѣть такихъ слугъ. (*Андрей уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Павловъ *одинъ*.

Павловъ. Скажите! Нынѣ уже яйца курицу учатъ. И каковъ, каналья, даже прощенья не попросилъ! Этотъ прогрессъ не на шутку сталъ къ мужикамъ заходить... (*смѣется*). Интересно будетъ, какъ это мужичье будетъ избрано въ присяжные засѣдатели. Натворятъ же они чудесъ!.. Всего интереснѣе будетъ, какъ они разсуждать начнутъ... О прогрессъ, прогрессъ! Какъ ты исковеркалъ нашу святую Русь! Прежде, до этой воли, мы жили, ни о чемъ не разсуждая: плотно держались на мѣстахъ, дорожили связями, доходъ у насъ былъ большой, хорошій, потому что никто не смѣлъ прекословить, всѣ намъ повиновались, всѣ насъ боялись и уважали. А теперь? Денегъ ни у кого нѣтъ, потому что имѣнія заложены, а съ крестьянъ взять нечего, потому что мы ихъ обрѣзали порядочно, а сами заниматься хозяйствомъ не умѣемъ: все надо нанимать, стало быть, платить, прежде чѣмъ получишь барышъ... Все старое такъ и летитъ къ чорту! Все старое и дряхлое только, имѣя связи, дослуживаетъ года до пенсіи, ворчитъ, ежится, поневолѣ поддакиваетъ новымъ людямъ и только для формы высказываетъ свое мнѣніе, которое никуда не годится. Теперь взяло верхъ молодое поколѣніе, такъ сказать, наши дѣтки, которыхъ, по правдѣ сказать, мы и не приготовляли, напримѣръ, къ судебной реформѣ, съ такою тревогою ожидаемой, которая, того и жди, что грянетъ... Вотъ будетъ переполохъ-то! (*Хлопаетъ руками*) Но дѣло въ томъ (*тихо*), что рано, рано бы еще вводить эту реформу, потому что, во-первыхъ, такихъ дѣятелей, которые умѣютъ за все взяться, какъ я, напримѣръ, у насъ еще мало, а во-вторыхъ, надо къ ней подготовить неразвитую массу чиновниковъ... Хорошъ прогрессъ для образованнаго сословія; я говорю про нашу образованную молодежь, которой негдѣ развернуть свои силы... Но вотъ что удивительно, это то, что за настоящими прогрессистами потянулись самоучки, приказные, мѣщане, за ними лакеи, а за лакеями мужики. Всѣ заговорили; поднялся какой-то звонъ... изъ дому даже нельзя выйти. Такъ вездѣ и пахнетъ чѣмъ-то новымъ, напускнымъ... Теперь и мужику, этому неотесанному чурбану, способному только работать и ѣсть дрянную пищу, стараются навязать прогрессъ, хотятъ и его сравнять съ нами... Но дудки! Я первый постараюсь не допускать въ засѣданіе гласныхъ изъ мужиковъ, потому что они ничего не понимаютъ, и намъ приторно сидѣть съ ними за однимъ столомъ. На что даже и въ губернскомъ собраніи въ первый разъ хотя и были мужики—не пригласить ихъ нельзя было: надо было пустить пыли въ глаза публикѣ; такъ что же оказалось: ни одинъ мужикъ не понялъ ни слова изъ нашихъ рѣчей, отъ сапоговъ воняло дегтемъ, изо ртовъ лукомъ, и они сидѣли какъ на иголкахъ, а потомъ перепились въ кабакахъ. (*Улыбается*). Ну, само собою разумѣется, на второмъ собраніи мужиковъ уже не было: (*хохочетъ*) повѣстки до нихъ не дошли...

ЯВЛЕНІЕ III.

Павловъ и Аннушка.

Аннушка. Баринъ, къ вамъ почтмейстеръ пришелъ.

Павловъ. Кто?

Аннушка. Почтмейстеръ.

Павловъ (*вставая*). Что ему надо?.. А вы, душечка, кажется не въ духѣ? Вы какъ будто плакали?

Аннушка. Ужъ не объ васъ ли?..

Павловъ (*кладетъ ей руку на плечо*). О! какая же ты сегодня сердитая!

Аннушка. Пустите... Мало еще вамъ?..

Павловъ (*цѣлуя*). Ну, извинѝ... Я немножко побранилъ твоего жениха... Ну, да пусть попроситъ прощенія.

Аннушка. Позвольте ужъ и мнѣ отойти отъ васъ.

Павловъ. А-а!.. Ну это мы увидимъ... Что жъ вы намѣрены дѣлать? Жаловаться? Кому? Кому вы вы на меня будете жаловаться? Ужъ не посреднику-ли, который мнѣ другъ и пріятель. Или, можетъ быть, губернатору?.. Ха-ха! Вамъ хочется по этапу прогуляться...

Аннушка (*потупляя глаза*). Богъ съ вами.

Павловъ. Ну то-то! Андрей можетъ остаться, и я разрѣшаю вамъ повѣнчаться и даже дамъ денегъ на свадьбу, но съ тѣмъ только условіемъ, что вы оба останетесь жить у меня. Понимаете? А теперь, посмотрите, чищенные ли у почтмейстера сапоги. Если чищенные, пусть идетъ сюда, если нѣтъ—можетъ подождать и въ залѣ.

(*Аннушка уходитъ*).

Павловъ. Ярая дѣвка!.. И только изъ одной привязанности я спускаю ей... Ну не ясно ли, что прогрессъ забрался и къ мужикамъ (*задумывается*). Теперь-то хорошо за ними пріударивать, и поприжать иной разъ можно, потому что имъ жаловаться некому. Но вотъ, что скажетъ гласный судъ? Тогда, пожалуй, наши дѣлишки выплывутъ на свѣтъ... Но я постараюсь быть самъ судьей...

ЯВЛЕНІЕ IV.

Павловъ и посредникъ.

Посредникъ. Тамъ къ вамъ почтмейстеръ пришелъ. Я ему говорю: что вы нейдете? Ничего, говоритъ, постою. Звалъ съ собою, ушелъ. Ха-ха!

Павловъ. Оригинальный старикъ. *(Идетъ къ окну и смотритъ)* Посмотрите, по тротуару ходитъ! *(оба хохочутъ. Павловъ звонитъ въ колокольчикъ).*

Посредникъ. Я удивляюсь: зачѣмъ такихъ стариковъ держатъ на службѣ.

(Входитъ Андрей).

Павловъ *(Андрею).* Позови почтмейстера сюда. Онъ на улицѣ.

(Андрей уходитъ).

Павловъ. Я, знаете, этихъ почтмейстеровъ сравниваю съ инвалидными начальниками: какъ инвалидные начальники происходятъ изъ солдатъ, такъ и почтмейстеры изъ почтальоновъ. А вѣдь онъ за ревизію-то получилъ награду. Ну, что новенькаго?... Да, а каково вчера угостили исправника? Ха-ха!

Посредникъ. Ну онъ любитъ, чтобы его носили на рукахъ и качали. Ну, а недовольныхъ у него много, и я думаю, что онъ долго не забудетъ колотушекъ! *(хохочетъ).*

Павловъ. Таковы дѣятели стараго времени... Онъ еще и теперь думаетъ, что земство уничтожатъ. Какой дуракъ! А что, говоритъ, касается до судебной реформы, такъ это, говоритъ, создало ваше пылкое воображеніе.

Посредникъ. Ну, онъ изъ артиллеріи... Наши гражданскіе дѣятели еще получше выражаются. Да, я сейчасъ былъ у городского головы, просилъ у него нѣсколько комнатъ въ его домѣ для будущаго вечера. Не даетъ. Можете, говоритъ, нанимать на счетъ вашего земства, гдѣ угодно, только я, говоритъ, своихъ комнатъ не дамъ и думѣ не дозволю давать даромъ своихъ домовъ.

Павловъ. Какая скотина! Надо позаботиться, чтобы его убрали.

Посредникъ. А намъ непремѣнно надо завести въ городѣ клубъ. Вѣдь у земства хватитъ на это денегъ.

Павловъ. Оно... конечно... Можно купить домъ.

Посредникъ. Безъ клуба мы никакъ не просвѣтимъ здѣшнихъ Обломовыхъ. Безъ клуба общества никогда не поймутъ другъ друга и не сольются.

Павловъ. Но какое же здѣсь можетъ быть сліяніе? Я очень хорошо знаю, что здѣсь совсѣмъ нѣтъ людей, которые бы вполнѣ сочувствовали прогрессу, хотя многіе и звонятъ, какъ настоящіе прогрессисты. Возьмите, напримѣръ, смотрителя уѣзднаго училища. Онъ при мнѣ постоянно относится сочувственно ко всѣмъ реформамъ, ругаетъ своего директора за его крутой нравъ и приверженность къ старымъ порядкамъ, сожалѣетъ, что въ училищѣ нѣтъ хорошихъ книгъ, и директоръ не дозволяетъ выписывать лучшіе журналы; а назадъ тому четыре дня я, въ качествѣ почетнаго смотрителя, заѣхалъ въ училище—онъ совершаетъ экзекуцію... Я ему говорю, что это несовременно. Извините, говоритъ, порядокъ: посѣчь мальчишекъ никогда не мѣшаетъ. Какъ же говорю, вы хвастались, что у васъ уже давно нѣтъ розогъ? Онъ уклонился отъ прямого объясненія, а только сказалъ: нельзя-съ. Самъ директоръ сказалъ: нельзя. А тутъ я еще узналъ, что назадъ тому нѣсколько лѣтъ думою была отпущена тысяча рублей для устройства уѣзднаго училища отъ приходскаго, и вотъ приходское училище помѣщается все въ томъ же ветхомъ зданіи. Теперь это дѣло у меня; въ полученіи денегъ имѣется расписка смотрителя, а куда израсходованы деньги, неизвѣстно... Да. А его уже отдѣлали. Я думаю, что это дѣло рукъ лѣкаря.

Посредникъ. Не думаю, потому-что лѣкарь, говорятъ, едва умѣетъ даже составлять акты.

Павловъ. Ну, тамъ извѣстная форма. А знаете, я лѣкаря думаю опредѣлить по земству... Мнѣ очень понравилась эта статья о смотрителѣ.

Посредникъ. Ну я не знаю, будетъ ли толкъ-то въ немъ! Я думаю, что статью написалъ учитель Никитинъ.

Павловъ. Вы думаете?.. Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! вѣдь учителю всего ближе извѣстны дѣла своего начальника. Это надо имѣть въ виду. Такъ вы думаете, Бедровъ не годится?

Посредникъ. Онъ стараго закала и, я думаю, ничего не будетъ дѣлать въ деревняхъ, а сопьется. Ну-съ! а вы журналъ о засѣданіи отправили?

Павловъ. Послалъ сегодня! Вѣдь ушелъ съ подписями за крестьянъ-гласныхъ!

Посредникъ. Да вѣдь въ засѣданіи не было ни одного крестьянина?

Павловъ. Что жъ такое! За крестьянъ подписались писаря. Вѣдь не станетъ же губернская управа посылать ревизора въ деревни?... При томъ у насъ никого не было изъ постороннихъ. Знаете что?.. Намъ нужно на слѣдующемъ засѣданіи поставить вопросъ о дорожной повинности. Я думаю оставить ее, попрежнему,—натуральной.

Посредникъ. Конечно. Возни будетъ меньше. Я вотъ теперь никакъ не могу втолковать крестьянамъ, что для нихъ необходимы школы. Не хотятъ понять... Придется принять мѣры, чтобы взыскать съ нихъ деньги. Началъ было составлять статистику: о числѣ всѣхъ жителей моего участка, ходилъ по избамъ—дѣтей стали прятать, года невѣрно показываютъ, въ церкви свѣдѣній никакихъ не досталъ; такъ и бросилъ!..

Павловъ. Также я хочу предложить вопросъ о кабакахъ. Ихъ надо искоренить! И я думаю вотъ что предложить: увеличить вдвое плату за патенты и запретить имѣть въ кабакахъ скамейки.

Посредникъ. Превосходная мысль: выпьетъ и уйдетъ.

Павловъ. Запирать кабаки во время обѣдни, имѣть одни двери. Вотъ такимъ образомъ мы искоренимъ пьянство. Нужно начать, а за нами послѣдуютъ и другіе. Да, Митрофанъ Тимофеичъ! много, много еще предстоитъ намъ работы: ломать старое и созидать новое. И хотя мы еще очень мало сдѣлали...

Посредникъ *(улыбаясь).* Почти ничего...

Павловъ. О, не говорите этого! Вѣдь на насъ устремлены всѣ взоры... Объ насъ пишутъ, насъ хвалятъ. *(Задумывается).*

Посредникъ. А впереди—гласные суды. Какое широкое поле дѣятельности... А я признаюсь, мнѣ ужасно надоѣло возиться съ мужиками.

Павловъ. Еще бы! народъ грубый. Ему надо такого посредника, какъ становой старыхъ временъ. Вѣдь и теперь крестьяне слушаются только внушеній розгами.

Посредникъ. *(Вставая).* Мнѣ надо еще къ исправнику. Ахъ, какой онъ уморительный. Я отъ него потребовалъ свѣдѣнія о количествѣ всѣхъ селъ и деревень въ уѣздѣ, и что же? Онъ доставилъ, но Петровскаго села въ его свѣдѣніи не оказалось *(хохочетъ и уходитъ).*

Павловъ *(ходитъ).* Да! Дѣятелей у насъ мало. Вотъ на весь уѣздъ мы только двое боремся съ людьми стараго порядка. Хорошо еще, что насъ хвалятъ, а то за полторы тысячи вовсе не стоитъ служить... Что это за жалованье, когда мы истрачиваемъ въ годъ до пяти тысячъ?... Скверно, что наши имѣнія расхлябались, крестьяне денегъ не платятъ добровольно, приходится продавать ихъ движимость и скотину... Распродадимъ мы все у нихъ, тогда они возьмутся за дѣло; а переселиться мы имъ не дозволимъ... Наконецъ, обложимъ пошлиною все, что есть въ селахъ и деревняхъ, будемъ строить на счетъ земства желѣзную дорогу... А можетъ-быть, придется еще дѣлать сборы въ пользу голодающихъ; вѣдь расходовать деньги намъ же придется.

ЯВЛЕНІЕ V.

Павловъ и почтмейстеръ въ форменномъ сюртукѣ.

(Почтмейстеръ неловко раскланивается).

Павловъ. Прошу садиться... Не хотите ли сигару? *(Беретъ со стола ящикъ съ сигарами).*

Почтмейстеръ. Покорно благодарю... Сигары крѣпки... Я курю папиросы-самодѣльщину... Я къ вамъ по дѣлу. На какомъ основаніи вы постоянно требуете почтовыхъ лошадей?

Павловъ. А на какомъ основаніи вы не даете?.. Я васъ предваряю, что если вы еще разъ не дадите лошадей, я прикажу нанимать на вашъ счетъ.

Почтмейстеръ. Ну, это мы еще увидимъ. Вѣдь я имѣю циркуляръ изъ своей конторы, гдѣ сказано, что посредникъ, слѣдователь, становой и лѣкарь должны получать лошадей отъ земской управы. *(Подаетъ бумагу).* Извольте прочитать.

Павловъ. *(Читаетъ бумагу).*

Почтмейстеръ. *(Въ сторону)* Что? Вотъ и раскуси!.. Ишь сигарами потчуетъ, а заставилъ таки меня прогуляться по морозу!

Павловъ. *(Отдаетъ бумагу).* Но тутъ сказано, когда у земства будутъ средства. А теперь средствъ у насъ еще нѣтъ.

Почтмейстеръ. Мнѣ губернская контора предписала не давать лошадей. Вотъ я и не даю и не дамъ.

Павловъ. Глупа же ваша контора!

Почтмейстеръ. Это еще не доказано. Такъ вотъ я и прошу васъ больше не присылать мнѣ предписаній... Я вѣдь здѣсь всѣмъ равенъ.

Павловъ. Если вы здѣсь равны всѣмъ, то отчего же для нѣкоторыхъ дѣлаете исключенія. Напримѣръ, вы отъ посредника не принимаете пакеты послѣ обѣда. Разсыльный говоритъ, что вы однажды, когда онъ пришелъ съ пакетами, сочиняли въ конторѣ письмо мужику.

Почтмейстеръ. Въ своей квартирѣ я воленъ дѣлать, что мнѣ вздумается. Никто мнѣ не указъ въ этомъ. А что касается до мужика, то мужику время дорого, онъ рабочій человѣкъ... А я вотъ еще хочу что спросить васъ, и затѣмъ больше я пришелъ къ вамъ: правда ли, Петръ Павлычъ, что вы хотите нашу коронную почтовую службу уничтожить?

Павловъ. Какъ такъ?

Почтмейстеръ. Я слышалъ, что вы на вашемъ вечерѣ...

Павловъ. Засѣданіи.

Почтмейстеръ. Ну все равно... Вы тамъ говорили о томъ, чтобы нашей почты не было, а чтобы почта была съ воли! Ну, что вы это затѣяли, скажите на милость?

Павловъ. А... понимаю. Вамъ переврали... На засѣданіи я говорилъ, что необходимо земству завести свою почту для того, понимаете, чтобы перевозить отсюда въ деревни письма. *(Закуриваетъ сигару).*

Почтмейстеръ. Это зачѣмъ? *(про себя)* Онъ будетъ и зимой развозить... А моя лодка только для лѣта. Экая бѣда!

Павловъ. Вѣдь ваша почта не обязана развозить письма по деревнямъ?

Почтмейстеръ *(про себя).* Отнимутъ у насъ и эти доходы. *(Павлову).* Кто нуждается, самъ пріѣзжаетъ въ контору.

Павловъ. Не всѣ могутъ знать, что имъ есть письма. Возьмите, напримѣръ, такихъ крестьянъ, у которыхъ есть сыновья или родственники въ военной службѣ. Получается, напримѣръ, въ вашей конторѣ письмо отъ солдата въ такую-то деревню. Вы вѣдь дожидаетесь того, на имя кого адресовано письмо... Адресатъ не является, вы письма уничтожаете.

Почтмейстеръ. Мы ихъ по истеченіи извѣстнаго срока посылаемъ обратно.

Павловъ. Ну вотъ видите! И случается, что иная жена годовъ десять не знаетъ ничего о своемъ мужѣ, а между тѣмъ мужъ ей писалъ, можетъ быть, по нѣскольку разъ въ годъ. Вотъ почему земству непремѣнно нужно завести свою почту.

Почтмейстеръ. Нельзя ли ужъ и мнѣ предоставить малую толику... Я строю колеса къ лодкѣ, такъ я въ лодкѣ...

Павловъ *(хохочетъ).* Но въ вашей лодкѣ вы далеко не уплывете... Вамъ надо будетъ платить, а земство будетъ стараться даромъ.

Почтмейстеръ. Полноте! Кто нынче даромъ-

то дѣлаетъ?... Да, вотъ еще что: какъ почталистъ взглянетъ на эти затѣи?

Павловъ. Почталистъ остается въ сторонѣ.

Почтмейстеръ. Ну, нѣтъ! Почта дѣло почталиста, и онъ своихъ доходовъ не упуститъ. Нѣтъ, ужъ лучше вы это оставьте... Дозволь вамъ развозить корреспонденцію по деревнямъ, вы и городскую почту вздумаете забрать.

Павловъ (*смѣется*). Это было бы хорошо.

Почтмейстеръ. Да вы что въ самомъ-то дѣлѣ! Ужъ не хотите ли вы всѣхъ почтовыхъ и съ почталистомъ вмѣстѣ за штатомъ оставить?.. Экъ куда хватили! Ха-ха! Ой... Попробуйте, потягайтесь... Охъ! ха-ха! Какъ вы много думаете о себѣ.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и Аннушка.

Аннушка. Зинаида Карловна пріѣхали.

Павловъ (*растерявшись*). Гм! Проси... Скажи прежде Андрею, чтобы подавалъ одѣваться. (*Аннушка прибираетъ на столѣ книги*).

Почтмейстеръ. (*Вставая*). Мое почтенье.

Павловъ. Ну я васъ, батенька, не пущу. Мнѣ нужно передать вамъ для отсылки одну вещицу (*уходитъ*).

Аннушка. Смотрите, не сконфузьтесь, г. почтмейстеръ! Она вѣдь по-французски.

Почтмейстеръ. Ну, а мы по-лопатошному. (*Смѣется и приглаживаетъ волосы*).

Аннушка. Вотъ и видно—необразованность. (*Смѣется и уходитъ*).

Почтмейстеръ. (*Смотря вслѣдъ Аннушкѣ*). Приди-ка ты ко мнѣ въ контору, такъ я тебѣ покажу образованность: проморю!! Ишь-ты! Муженекъ только что уѣхалъ, жена на порогъ!.. Знаемъ мы эти фигли-мигли!

ЯВЛЕНІЕ VII.

Почтмейстеръ и Зинаида Карловна (*При появленіи Зинаиды Карловны почтмейстеръ встаетъ и неловко раскланивается*).

Зинаида Карловна. Ахъ! (*Сухо протягивая руку*). Здравствуйте! (*про себя*) и никто мнѣ не сказалъ, что этотъ татаринъ здѣсь... (*Садится, про себя:*) однако надо не уронить себя (*почтмейстеру*). Отчего васъ не видать нигдѣ? Вотъ вы и на пикникѣ не были.

Почтмейстеръ. Гдѣ ужъ намъ: мы люди маленькіе.

З. Карловна. Нынче всѣ равны.

Почтмейстеръ. Ну, нѣтъ! Митрофанъ-то Тимофеичъ получаетъ въ годъ полторы тысячи, а я всего сто двадцать. Такъ мнѣ за вами не слѣдъ гнаться.

З. Карловна. Подождите, и вамъ увеличатъ жалованье.

Почтмейстеръ. Ну, на это-то нечего расчитывать. Когда увеличатъ, тогда и мы будемъ на пикники ѣздить.

З. Карловна. Ну вы бы Анну Николаевну отпустили.

Почтмейстеръ. Э! Если въ гости ходить, такъ надо и къ себѣ приглашать. А у меня достатки-то маловаты. Нынче вонъ вездѣ кофеи проявились, а я этого пойла терпѣть не могу.

З. Карловна (*улыбаясь*). А вы не пейте.

Почтмейстеръ. Для гостей надо... Его еще надо изъ губернскаго выписывать.

З. Карловна (*въ сторону*). Какъ онъ глупъ!

(*Молчаніе*).

Почтмейстеръ (*въ сторону*). Ишь какъ языкомъ-то чешетъ... А платье-то!.. Ишь какъ егозитъ.

З. Карловна. Отчего вы, Николай Петровичъ, не отпустите ко мнѣ Анну Николаевну? Вотъ по вашей милости и чтеніе разстроилось.

Почтмейстеръ. Кто ее держитъ! Я ей говорю: иди, Аннушка, къ посредницѣ... А она совѣстится.

З. Карловна. Она даже нехорошо сдѣлала, что мнѣ не отплатила визита до сихъ поръ. Вѣроятно, вамъ непріятно наше знакомство? Кабы было пріятно, вы дозволили бы вашей дочери читать.

Почтмейстеръ. Гдѣ же намъ читать передъ публикой. Гдѣ она обучалась-то? нигдѣ. Она не знаетъ барскихъ привычекъ, не умѣетъ танцовать... Ее бы осмѣяли... Нѣтъ, ужъ увольте.

З. Карловна. Отчего же вы ее не хотите ввести въ общество?

Почтмейстеръ. А для чего? намъ и такъ хорошо... Вотъ когда выйдетъ замужъ за Никитина, тогда пусть, что хочетъ дѣлаетъ.

З. Карловна. Что жъ вы ее не выдаете?

Почтмейстеръ. Это ужъ мое дѣло. Никитинъ-то половину жалованья посылаетъ братьямъ въ губернскій, да и со смотрителемъ у нихъ идутъ контры.

З. Карловна. А вы не знаете, кто посылалъ статью о смотрителѣ въ редакцію?

Почтмейстеръ. Не знаю. Говорятъ, что лѣкарь. Отъ него, пожалуй, сбудется. Къ тому же онъ хочетъ поступить по земству. Только я думаю, онъ и тамъ будетъ только народъ морить.

З. Карловна. А онъ развѣ плохо знаетъ свое дѣло?

Почтмейстеръ. Должно быть, плохо, если мою жену въ гробъ вогналъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и Павловъ въ сюртукѣ.

Зинаида Карловна (*Павлову*). Видите, какъ я сдерживаю свое слово! Я даже привезла проектъ женскаго училища.

Павловъ. О! Вы дѣятельная женщина. Побольше бы намъ такихъ женщинъ, какъ вы.

З. Карловна. Мнѣ стоитъ только захотѣть. И я теперь требую, чтобы у насъ въ городѣ непремѣнно была заведена на счетъ земства женская гимназія.

Павловъ. Ото всей души готовъ взяться за ваше дѣло.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и Аннушка.

Аннушка. Кофе готовъ.

Павловъ. Пойдемте!

Почтмейстеръ. Позвольте мнѣ ретироваться... Я кофей не пью.

Павловъ. А я васъ не пущу: если не хотите кофею, такъ останьтесь закусить и выпить чего-нибудь.

Почтмейстеръ. Ну, отъ закуски-то я не отказывался и прежде. (*про себя*) Хоть ты и хочешь угощать, а почты тебѣ не видать, какъ своихъ ушей.

Сцена вторая.

Небольшая комната. Въ углубленіи около стѣны кожаный рваный диванъ съ подушкою. Передъ диваномъ столъ, на которомъ лежатъ въ безпорядкѣ книги и тетради, тарелка съ ржанымъ хлѣбомъ и стоятъ бутылка и рюмка. Два стула стоятъ около стола въ безпорядкѣ. Направо дверь, налѣво одно окно. При поднятіи занавѣса Никитинъ сидитъ въ форменномъ сюртукѣ на диванѣ и куритъ папироску; крестьянинъ Василій Ермолаичъ стоитъ около стола.

ЯВЛЕНІЕ I.

Никитинъ и Василій Ермолаичъ.

Василій Ермолаичъ. Много вами благодаренъ.

Никитинъ. Ну... Вѣдь съ двухъ-то рюмокъ не будешь пьянъ. Легче будетъ.

В. Ермолаичъ. Какое ужъ тутъ легче: горе одно... Работа ужъ теперь... пропадай! легъ бы спать, забылся, такъ нѣтъ. Вотъ что! (*Выпиваетъ и закусываетъ*).

Никитинъ. Что жъ дѣлать! Надо терпѣть. Больше-то ничего не остается. Что же посредникъ-то смотритъ?

В. Ермолаичъ. Посредникъ-то? Да мы посредника-то въ нашемъ селѣ всего только разъ и видѣли,—это когда были землей недовольны... Если что нужно, мы къ нему сюда ходимъ... А отъ нашего-то села до города сорокъ пять верстъ. И тутъ придешь,—или дома нѣтъ, или если застанешь, покричитъ-покричитъ, да и прогонитъ. Вотъ тоже просили: нельзя ли, молъ, переселиться. Такъ онъ—куды! Раскричался—страсть! Только смѣйте говорить—задеру! А если, говоритъ, будете жаловаться губернатору, въ острогѣ сгніете.

Никитинъ. Ну это онъ вретъ. Подай губернатору—какъ я написалъ. Можетъ, и лучше будетъ.

В. Ермолаичъ. Ужъ, право, не знаю... Ну какой я человѣкъ? Нищій. Вотъ и въ городѣ мало работы; спасибо Николай Петровичъ заставилъ печку поправить... Горе и съ ребятишками: никто ихъ не беретъ, — боятся, чтобы не обокрали. (*Встаетъ*). Ну, спасибо... Такъ ужъ ты отправь прошеньице-то.

Никитинъ. Будь спокоенъ... Постараюсь сдѣлать все, что можно. (*Жметъ руку Василію Ермолаичу, который уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Никитинъ.

Никитинъ. Вотъ они благодѣтели-то наши! Во всѣхъ газетахъ только и рѣчей о томъ, что образованные люди благодѣтельствуютъ меньшей братіи различными мѣрами, что во всемъ государствѣ народъ благоденствуетъ и благодаритъ тѣхъ, которые заботятся о немъ. А на дѣлѣ, что оказывается? Есть у насъ мировой посредникъ. Сначала онъ горячо принялся за свое дѣло, но скоро остылъ и, какъ самъ помѣщикъ, перешелъ на сторону помѣщиковъ и теперь предоставилъ вѣдаться съ крестьянами своему писарю-письмоводителю, а самъ играетъ въ карты, устраиваетъ пикники, литературно-музыкальные вечера. Есть у насъ и уѣздная управа, но что она дѣлаетъ, ничего неизвѣстно, потому что нельзя узнать, когда бываютъ собранія. Но вотъ еще и году нѣтъ какъ открыта у насъ управа, а Павловъ уже купилъ въ городѣ большой домъ,—на какія деньги—неизвѣстно. И оба они—Павловъ и посредникъ считаютъ себя прогрессистами, въ разговорахъ ихъ такъ и слышится современность, сочувствіе всему хорошему, они устраиваютъ чтенія, спектакли въ пользу бѣдныхъ. Но что-то не слышно, чтобы бѣдные получали отъ этихъ затѣй хотя грошъ, вѣроятно, потому, что каждая затѣя требуетъ затраты на наряды, и оканчивается обѣдомъ или ужиномъ съ приличною попойкою... Господи! Такъ бы и убѣжалъ отсюда, такъ бы и не глядѣлъ ни на что! Но куда уйдешь?.. Вотъ тутъ еще любовь завязалась... Если бы я хладнокровно смотрѣлъ на все, что здѣсь совершается, я бы давно женился, но я не могу... Мнѣ хочется хотя посредствомъ газетъ напомнить нашимъ дѣятелямъ, что они поступаютъ нечестно... А это, я знаю, мнѣ большой пользы не принесетъ. Хотя у насъ и говорятъ, что статью о смотрителѣ написалъ лѣкарь, но смотритель думаетъ не такъ, и я уже получилъ отъ директора запросъ: какое я имѣлъ право чернить своего начальника... Нѣтъ, жениться еще рано. Кто знаетъ, что будетъ впереди: меня могутъ перевести, могутъ уволить, а въ другое вѣдомство поступить трудно, если у насъ въ губерніи будетъ тотъ же директоръ... Вонъ и Николай Петровичъ косится. Вѣроятно, и онъ думаетъ, что я человѣкъ ничего не значащій. Вѣдь здѣсь учителя считаются за какихъ-то батраковъ, здѣсь учителей не уважаютъ, и за частные уроки даютъ самые богатые по восьми рублей въ мѣсяцъ. (*Убираетъ бутылку подъ кровать*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Никитинъ и лѣкарь.

Лѣкарь. Здравствуйте! Что это у васъ кабакомъ пахнетъ!

Никитинъ. Былъ гость, такъ я угощалъ его. Что новенькаго?

Лѣкарь. А что? Жалѣю, что васъ не было вчера на пикникѣ. Исправника отлично поутюжили. Вотъ бы вамъ матеріалъ.

Никитинъ. Я такими глупостями не занимаюсь.

Лѣкарь. Полноте, пожалуйста. Статью хотя и мнѣ приписываютъ, но я знаю, что кромѣ васъ сочинить некому. И я вамъ долженъ сказать, что вы поступаете неблагородно. Теперь изъ-за этой проклятой статьи меня никуда не стали звать... Ну, да наплевать. Вчера мнѣ Павловъ далъ слово, что я непремѣнно буду опредѣленъ по земству. Вѣдь жалованья восемьсотъ рублей, аптека... Пирогъ, батенька, завтра пеку!

Никитинъ. Но вѣдь еще не утвердили?

Лѣкарь. Это все равно. У Павлова рука. Ужъ если онъ сказалъ—свято.

Никитинъ. Однако, вы вѣдь плохо умѣете съ крестьянами обращаться.

Лѣкарь. Стану я возиться съ ними! Эко вы куда хватили. На это есть лѣкарскій помощникъ, фельдшера.

Никитинъ. Нечестно.

Лѣкарь. Э, полноте, батенька! Съ честностью-то нынче наплачешься. Вѣдь аптека! Вотъ что главное.

Никитинъ. А если не станутъ покупать лѣкарствъ?

Лѣкарь. Эва! Обложимъ сборомъ всѣ дома... Знаете ли что: нѣтъ ли у васъ денегъ? Я уже въ счетъ будущихъ благъ забралъ порядочно... Надо на закуску, ну и пріодѣться. Сейчасъ былъ у казначея, Вѣра Степановна выбѣжала съ повязанной рукой... «Что спрашиваю, порѣзали?»—Нѣтъ! говоритъ, полъ мыла,—уколола. «Для чего? спрашиваю».—Какъ для чего? Нынче женщины должны сами работать... Вотъ дура-то! Вѣроятно, она мыла полъ въ шолковомъ платьѣ... Такъ, какъ на счетъ денегъ-то?

Никитинъ. Не знаю... Я бы далъ, да я, знаете, половину жалованья отсылаю братьямъ.

Лѣкарь. Плохо. Попросите-ка у своего будущаго тестя... Я заплачу проценты. Вѣдь онъ, говорятъ, далъ Гуляевой двѣсти рублей. Вы на себя попросите.

Никитинъ. Нѣтъ. За это я не берусь.

Лѣкарь. Почему?

Никитинъ. Если я стану просить, онъ подумаетъ, что я изъ-за дочери выманиваю деньги. Отчего вы сами не попросите?

Лѣкарь. Самъ? Да онъ меня терпѣть не можетъ. А мнѣ теперь непремѣнно надо достать рублей пятьдесятъ. Вѣдь вы знаете, что я ухаживаю за дочерью головы. Нельзя же мнѣ являться туда въ одномъ сюртучишкѣ. Вѣдь она не Анна Николаевна...

Никитинъ. Неужели вы хотите жениться на дурѣ?

Лѣкарь. А что такое? Вѣдь ей не книжки сочинять! Она хотя и дура, толстая и рябая и гнуситъ немножко, зато у ея отца денегъ-то и куры не клюютъ... Я человѣкъ практическій, не фантазеръ, какъ вы. При деньгахъ, батенька, все можно сдѣлать; тогда можно и службу по-боку.

Никитинъ. А зачѣмъ же вы учились?

Лѣкарь. Для того я и учился въ университетѣ, чтобы хорошую должность получить. Попала нехорошая должность—надо жениться на богатой невѣстѣ... Что это за должность—лѣкарь! дрянь! Вотъ хоть и я буду служить по земству и жалованье будетъ хорошее, такъ, пожалуй, придется разъѣзжать; покою не будешь знать. А если я женюсь на дочери головы, я въ акцизные поступлю... Вотъ что!

Никитинъ. Знаете ли что, Левъ Борисычъ, отъ васъ, какъ отъ лѣкаря и притомъ кончившаго курсъ въ университетѣ, какъ-то непріятно слышать подобныя вещи.

Лѣкарь. Что дѣлать, батенька! Умыкали бурку крутыя горки! Поживите съ мое, такъ узнаете. И я прежде былъ изъ храбрыхъ; и я кричалъ, да усталъ кричать-то... увидалъ, что ничего не подѣлаешь и не къ чему—бросилъ... И вотъ теперь для того, чтобы мнѣ было спокойно, я, гдѣ нужно кричать, кричу, гдѣ надо молчать,—молчу; съ прогрессистами я прогрессистъ, съ консерваторами—консерваторъ...

Никитинъ. Это ужъ по-жидовски выходитъ.

Лѣкарь. Зато я буду служить по земству. Значитъ, прогрессъ мнѣ принесъ пользу.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и голова съ почтмейстеромъ (оба навеселѣ).

Голова. *(Почтмейстеру).* Хвалю!... Молодецъ... Здорово, ребяты!

Почтмейстеръ *(Никитину).* Говорю: не суйся со своей башкой. Ну гдѣ, говорю, тебѣ кисельничать съ нами... Да если, говорю, почтамтъ узнаетъ про твои затѣи, всему твоему земству такая нахлобучка будетъ, что и...

Голова *(Никитину).* Никаноръ Васильичъ! Какъ ты думаешь, хорошо будетъ, если я заведу трактиръ?

Никитинъ. Вещь полезная.

Голова. Какая бы она ни была, а я хочу стать Павлову поперекъ дороги. Онъ хочетъ съ посредникомъ завести клубъ, а я заведу трактиръ. Но вотъ горе! Кого посадить?

Почтмейстеръ. А Гуляева? Вѣдь онъ нынче пересталъ пить, только плохо видитъ?

Голова. Дѣльно ты выдумалъ. Жена-то его вѣдь мнѣ троюродная сестра. Вотъ я ее и поставлю надсматривать. Ужъ коли нынче, подлецъ, али про... про... ну, чортъ съ нимъ... ужъ, коли барышни книжки читаютъ про любовь при публикѣ, выкину и я штуку: пусть Гуляева сидитъ въ трактирѣ... Это рѣшено и подписано.

Лѣкарь. Но несовременно сидѣть женщинѣ въ трактирѣ.

Голова. Вы не трещите!.. Вы коли по земству, туда и ступайте со своими замѣчаніями... Я вѣдь не свой братъ. Я знаю, во что вы мѣтите! Дудки! *(Указывая на Никитина)* Я вотъ за него съ удовольствіемъ отдамъ Вѣрку, а за васъ нѣтъ... *(Почтмейстеру)* Ты, крыса, не думай, чтобы я сталъ перебивать. Ну, пойдемте къ Гуляеву, постучимъ.

Лѣкарь. *(про себя).* Чортъ возьми! Это все почтмейстеръ.

Почтмейстеръ *(лѣкарю).* Что Левъ Борисычъ? прикусили язычекъ-то... Охъ вы, прогрессистъ *(направляется къ двери).*

(Голова хохочетъ).

Лѣкарь. Посмотримъ, посмотримъ...

Почтмейстеръ. То-то. А вотъ вы посмотрите, какъ я съ Аннушкой у Павлова читать буду! Ми-си, ми-си! Кудры, кулды! *(Хохочетъ, за нимъ хохочутъ и остальные).*

Занавѣсъ падаетъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Сцена первая.

Большая комната въ трактирѣ. Въ углубленіи двери, сквозь которыя виденъ буфетъ; по правую и по лѣвую сторону двери, по угламъ, столы, изъ коихъ на столѣ на право, ближе къ авансценѣ, лежатъ газеты; около стѣнъ стулья. При поднятіи занавѣса за столомъ налѣво въ углу сидятъ: столоначальникъ Егоровъ, приказчикъ и повѣренный Филатовъ. На столѣ стоитъ закуска, графинъ, бутылка, рюмки, стаканы. Сквозь двери въ углубленіи видны: Гуляевъ съ повязанной щекой, смотрящій въ эту комнату, и Надежда Максимовна, прошедшая въ буфетъ и потомъ остановившаяся въ дверяхъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Егоровъ, Филатовъ и приказчикъ.

Филатовъ *(хлопая приказчика по плечу).* Не тужи! Ты знаешь, что нашъ судъ единственный въ губерніи... Я же считаюсь за перваго юриста. *(Надежда Максимовна въ дверяхъ).*

Егоровъ. Ну, ваше дѣло еще пустяки. Вся суть состоитъ во мнѣ, потому-что я составляю рѣшеніе по всѣмъ гражданскимъ дѣламъ. И ни палата, ни сенатъ не могутъ подкопаться.

Приказчикъ. Только уже вы больно дѣла-то долго держите. Вонъ мое дѣло три съ половиной года держали, а взысканія-то всего только двѣсти восемьдесятъ рублей... Вы не повѣрите... я вѣдь больше этой суммы издержалъ на хлопоты... Кушайте.

Егоровъ. Еще ты недоволенъ!.. *(пьетъ)* Теперь дѣло твое рѣшено; а если пойдетъ въ палату, то ужъ не ты будешь тратиться... Вотъ и видно, что ты глупъ. Тебѣ бы нужно сперва ко мнѣ обратиться, я бы тебя научилъ, какъ дѣйствовать. И дѣло бы твое рѣшилось въ годъ. Самъ виноватъ. *(Надеждѣ Максимовнѣ)* Не такъ ли, хозяюшка?

Надежда Максимовна. Вы судейскіе всегда правы; вотъ дѣло моего мужа до сихъ поръ еще не разсмотрѣно.

Егоровъ. Надо его двинуть. Надо колеса подмазать.

Н. Максимовна. Ужъ было, кажется, подмазано... Живодеры! *(уходитъ).*

Егоровъ. Вотъ видите! Развѣ пріятно намъ это слышать? Вѣдь, ей Богу, стараемся всѣмъ угодить, и выходитъ: куда ни появись,—вездѣ говорятъ, что ты живодеръ. А развѣ мы виноваты, что у насъ показаны сроки: когда дѣло разсматривать. сроки на требованіе описи, рукоприкладство и тому подобное... А дѣлъ у насъ много, за всѣми дѣлами я долженъ слѣдить, потому что нашъ засѣдатель всѣ резолюціи пишетъ съ моихъ словъ; такъ составляются всѣ наши бумаги: я пишу на нихъ сперва справку, потомъ—приказали. Секретарь смыслитъ толкъ только въ уголовныхъ дѣлахъ, да и то за конокрадство и праваго, и виноватаго въ Сибирь, а за убійство, будь оно и не доказанное, въ каторжную работу. А нашъ засѣдатель? Онъ смыслитъ только счетную часть. А какая за все это благодарность!

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Никитинъ.

Филатовъ. А! Никанору Васильевичу... Что, скоро ли свадьба?

Никитинъ. А вамъ хочется, чтобы я скорѣе женился?

Филатовъ. Пріятно видѣть женатаго человѣка! Знаете, родъ человѣческій умножается.

(Никитинъ садится за столъ съ газетами).

Приказчикъ. *(Егорову)* Давно бы вамъ надо судьей быть.

Егоровъ. Что дѣлать! Бѣднаго человѣка вездѣ гнутъ: ему нигдѣ не даютъ ходу. Не такъ ли, Никаноръ Васильичъ?

Никитинъ. *(читая газету).* Что такое?

Филатовъ. *(Егорову)* Ну, вы не можете жаловаться, потому что вашему дому и судья завидуетъ. По правдѣ сказать, наша братья, повѣренные, вамъ даютъ готовыя рѣшенія. Вотъ напримѣръ я! Вы только списываете. Я даже всѣ статьи закона подвожу.

Егоровъ. Не хвалитесь, пожалуйста! Гдѣ вы учились-то?

Филатовъ. А вы хоть и изъ философіи исключены, а написать какую-нибудь бумагу въ одинъ присѣстъ не можете *(звонитъ въ колокольчикъ).*

Егоровъ. Не хвастайтесь, пожалуйста! Будутъ новые суды,—ужъ васъ не допустятъ повѣренничать.

(Входитъ мальчикъ).

Приказчикъ. Постой! Вы господа, дальше губернскаго города не бывали, а я былъ въ самомъ Петербургѣ... Дай-ко намъ портвейну. Есть у тебя портвейнъ?

Мальчикъ. Не знаю.

Надежда Максимовна. *(въ дверяхъ).* Есть бутылка. Три рубля стоитъ.

Филатовъ. Ну, ее! Неси водки.

(Мальчикъ уходитъ, Надежда Максимовна скрывается).

Никитинъ *(кладетъ газету, про себя).* Что-то скажетъ теперь Павловъ? Статья вышла такая, какъ я и не ожидалъ. Вотъ-то всплылъ... Да! Теперь не объ женитьбѣ нужно думать, а объ своемъ спасеніи, потому что за первую статью о земствѣ мнѣ велѣли выйти въ отставку... Теперь

и почтмейстеръ ругаетъ меня, Аннушка больше молчитъ... Теперь ужъ я и тамъ сталъ какимъ-то негодлемъ... Однажды почтмейстеръ сказалъ, что лучше бы было, если бы я не ходилъ къ нимъ, такъ какъ ему нѣтъ разсчета выдавать дочь за человѣка, не находящагося на службѣ; а Анна Николаевна сказала, чѣмъ же мы жить будемъ; я, говоритъ, не желаю, чтобы мой мужъ жилъ на содержаніи у жены!.. Да! это справедливо! Но чѣмъ же я виноватъ, если меня за правду гонятъ въ отставку... Отчего ни въ комъ я не вижу ни поддержки, ни утѣшенія?.. *(Вздыхаетъ)* Теперь остается одно—ѣхать въ губернскій и хлопотать о службѣ по другому вѣдомству. Но какую мнѣ избрать службу, если я, учитель грамматики, плохо смыслю счетную часть и почти неспособенъ къ слѣдственной части?

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же, фабричные, Гуляевъ и Надежда Максимовна.

Гуляевъ. Куда? Куда пошли!

Надежда Максимовна. Идите на черную половину. Здѣсь вамъ не мѣсто. *(Гуляеву)* Прогони ты ихъ.

Гуляевъ. Мнѣ что... Пошли.

Никитинъ *(фабричнымъ)*. Самое лучшее, господа, если вы уйдете отсюда, потому что, чего добраго, вы попадете подъ судъ. Вы имѣете дѣло *(указывая на Филатова и Егорова)* вонъ съ какими господами.

1-й фабричный. Это правда! *(2-му фабричному)* Пойдемъ не-то на черную половину.

(Уходятъ).

Филатовъ. Кого? Что вы сказали?

Никитинъ. Что вы кричите? Развѣ я испугался васъ...

Филатовъ. А! Я понимаю... Вы хотите настрочить въ газету. Такъ помните же, что если только мое имя будетъ упомянуто въ «Искрѣ» или въ другой газетѣ, я вамъ руки обломаю.

Никитинъ. Благодарю, что предупредили *(отходитъ)*.

Н. Максимовна *(Никитину тихо)*. Охота вамъ, Никаноръ Васильичъ связываться! Вѣдь это отъявленные мошенники... А я васъ хочу предупредить, что лѣкарь на васъ ужасно зубы грызетъ. Какъ бы онъ не отравилъ васъ *(уходитъ)*.

Никитинъ *(про себя)*. Вотъ она участь-то корреспондента! *(садится)*.

Приказчикъ. Такъ это правда, что будетъ новый судъ.

Егоровъ. Господинъ Никитинъ!.. Васъ спрашиваютъ.

Никитинъ. Отстаньте, господа! Я въ вашу компанію не мѣшаюсь.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же, голова, частный приставъ, почтмейстеръ и лѣкарь.

Частный приставъ. Стой... Надежда Максимовна плачетъ... Какую ей муженекъ затрещину сдѣлалъ!

(Егоровъ, Филатовъ и приказчикъ встаютъ).

Голова. У насъ трактиръ открытъ для всѣхъ. *(Садится за столъ къ Никитину)*.

Лѣкарь. Я составлю актъ.

Почтмейстеръ. И слѣдуетъ.

Голова. А если она мужа поѣдомъ ѣстъ! Это какъ?

Приказчикъ. За женщину слѣдуетъ заступиться.

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же, Надежда Максимовна и мальчикъ. (Мальчикъ вноситъ подносъ съ графиномъ и закуской).

Надежда Максимовна. Что я стану дѣлать! И такъ каждый день *(плачетъ)*.

Голова. Ну мы его проучимъ.

Филатовъ. Въ чемъ дѣло? Я берусь хлопотать.

Голова. Не твое дѣло.

Филатовъ. Я думаю.

Голова. Молчать, скотина!

Филатовъ. Какъ?! Прошу васъ заслушать.

Голова. Пошелъ вонъ, піявка!

Филатовъ. Такъ хорошо же!.. Я же вамъ удружу.

Частный приставъ *(Филатову)*. Извольте убираться, пока я васъ въ полицію не забралъ.

Егоровъ. Мы вамъ удружимъ *(идетъ къ двери; за нимъ идутъ приказчикъ и Филатовъ)*.

Филатовъ *(Егорову)*. Мы этому Гуляеву настрочимъ просьбу... *(уходятъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Голова, почтмейстеръ, Никитинъ, лѣкарь, частный приставъ и Надежда Максимовна.

Надежда Максимовна. И все это вышло изъ-за фабричныхъ. Они идутъ сюда, а я ихъ посылаю на черную половину... И онъ хоть бы слово! Спасибо, Никаноръ Васильичъ урезонили.

Голова. Ну, ничего... А вы съ фабричными-то осторожнѣе... Пускай иногда и здѣсь гарцуютъ.

Лѣкарь. Однако, вы, голова, либералъ.

Голова. Это дѣло мое. Я ихъ хочу отучить отъ кабаковъ, потому что они тамъ пропиваютъ всѣ деньги, забираютъ у меня въ долгъ и не работаютъ... А вотъ какъ въ трактирѣ выпьетъ, и ожжется. Здѣсь вѣдь одна рюмка пятачекъ стоитъ... Да и опять, если они привыкнутъ къ хорошему обращенію,—постоянно будутъ сюда ходить. А это много значитъ! Теперь въ кабакахъ они истрачи-

ваютъ десять копеекъ, а у меня истратятъ сорокъ. Вотъ что!..

Частный приставъ. Я думаю, что все-таки еще несвоевременно вводить мужиковъ въ трактиры. Я имѣю приказаніе отъ исправника... наблюдать за порядкомъ.

Никитинъ *(смотритъ на частнаго пристава)*. Это къ чему?

Ч. приставъ *(таинственно)*. Есть личности, которыя...

Лѣкарь. Которыя въ газетахъ начальство описываютъ.

Голова. Ужъ не вы ли въ начальство-то попали?

(Никитинъ, а за нимъ Надежда Максимовна уходятъ).

Лѣкарь. Я совсѣмъ отдѣльная часть.

Голова. Хоть бы вы-то не хвастались. Вотъ тоже васъ не приняли по земству. Пейте Христа-ради (*наливаетъ водки*).

Лѣкарь. Я не нищій... Лучше потчуйте того, кого вы боитесь.

Голова. Кого я боюсь?

Лѣкарь. Погодите! Ужалитъ васъ одна змѣя! И змѣя эта—Никитинъ.

(Почтмейстеръ, голова и частный приставъ оглядываются).

Голова. Ушелъ.

Ч. приставъ. За нимъ надо приглядывать!

Почтмейстеръ. Какъ вамъ не стыдно, господа! Ну, что вамъ можетъ сдѣлать такой червякъ, какъ Никитинъ? Вѣдь ужъ его въ отставку выгнали.

Голова. А онъ развѣ не женится на твоей дочери?

Почтмейстеръ. Я дочери не дозволю за него выйти, потому-что онъ человѣкъ безпокойный. Онъ еще и меня, чего добраго, опишетъ.

Лѣкарь. И опишетъ! *(уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ VII.

Голова, почтмейстеръ и частный приставъ.

Голова. Скотина!

Почтмейстеръ. Онъ мнѣ такъ надоѣлъ!.. Не пройдетъ дня, чтобы онъ не пришелъ ко мнѣ. Ужъ я его и смѣхомъ, и колкостями допекалъ,— ничто не беретъ! Разсердится, а на другой день опять идетъ... Я все удивляюсь, какъ Филатовъ-то наскочилъ. Ужъ не воображаетъ ли онъ остаться при новомъ судѣ повѣреннымъ?

Голова. А что?

Почтмейстеръ. Въ правилахъ сказано, что повѣренные будутъ университетскіе.

Голова. Ну, братъ, избави насъ Богъ отъ такихъ умниковъ. Тогда къ нимъ и не подступайся. Этотъ завтра же придетъ ко мнѣ. Хоть я его и обругалъ и прогналъ, а онъ придетъ, потому что онъ взялся за одно мое дѣло. И я знаю, что онъ выиграетъ въ мою пользу... Онъ, нужды нѣтъ, что мошенникъ, а дѣлецъ. Какія-какія я ни дѣлалъ каверзы, а онъ только возьмется — все сойдетъ... А поди-ка ты къ университетскимъ! Смотритъ какъ ни вѣсть какая особа: на носу очки, сапоги со скрипомъ, руки фертомъ. Нѣтъ ужъ пусть лучше Филатовъ останется! Хотя и противно съ нимъ водить компанію, а все-таки человѣкъ онъ нужный.

Почтмейстеръ. Ну, врядъ ли его оставятъ. Этотъ судъ для того и будетъ, чтобы никто не бралъ взятокъ, чтобы все было по справедливости.

Голова. Ну, это не ты бы говорилъ, да не я бы слушалъ. Чѣмъ же они, судейскіе-то, жить тогда станутъ?

Частный приставъ. Кромѣ этого, если взять въ соображеніе, что составъ новаго суда съ повѣренными будетъ набранъ изъ университетскихъ, то надо подумать сперва: много ли у насъ такихъ найдется-то?

Почтмейстеръ. Ничего, наберутъ.

Голова. Я тебѣ скажу, что эти твои университетскіе ни къ чему не будутъ годиться! Они господа, а будутъ судить о купцахъ и мѣщанахъ... Вотъ почему я не долюбливаю этотъ новый судъ. Ишь выдумали магистратъ уничтожить! Они пусть уѣздный судъ уничтожаютъ, а дѣла о купцахъ да мѣщанахъ не тронь: вѣдь мы кормильцы.

Почтмейстеръ. Ничего, подрѣжутъ таки всѣхъ. Вотъ, только насъ, почтовыхъ, оставляютъ въ покоѣ. И я всегда всѣмъ скажу, что мы родились въ сорочкѣ. Уже, кажется, всѣхъ перешерстили, кому-кому не досталось, а мы все тѣ же; мы даже количествомъ возвысились, потому что къ намъ телеграфы присоединили. И я такъ думаю, что мы великіе люди!

Ч. приставъ. Не мѣшало бы и вамъ дать какое-нибудь разнообразіе! Не все же вамъ надо всѣми издѣваться.

Голова. Кажется, и у полиціи поубавится власти?

Почтмейстеръ. Новые пристава заведутся *(смѣется).*

Голова. И откуда это ты все узналъ?

Почтмейстеръ. Теперь я съ нетерпѣніемъ жду каждаго номера Биржевыхъ. Тамъ всѣ эти правила прекрасно расписаны.

Голова. Значитъ, теперь все внизъ головой!

Ч. приставъ. Вѣдь это просто... Ну, чѣмъ мы заслужили такое пренебреженіе?... Теперь новые пристава будутъ наше дѣло дѣлать: описывать и продавать имѣнія, взыскивать долги... Вотъ именно, некуда казнѣ дѣвать деньги, и я напередъ знаю, что этотъ новый судъ никуда не будетъ годиться. Путаница выйдетъ страшная, оттого что никто тогда не будетъ посылать... Да я своей власти ни за что не уступлю... Я сдѣлаю такъ, что безъ меня новый приставъ ни шагу не ступитъ, и ему ни одного гроша не перепадетъ въ карманъ.

Голова *(вставая)*. Однако полно переливать-то изъ пустого въ порожнее. Сегодня вѣдь въ клубѣ пляшутъ. Надо нашихъ тузовъ послушать: какъ они толкуютъ объ этомъ гласномъ судѣ.

Почтмейстеръ. Ну какіе же это тузы!

Голова. Ты, братъ, что-то нынче никого не уважаешь?.. Ужъ не думаешь ли и ты въ новые суды поступить?

Ч. приставъ. Перемелется—мука будетъ. Вы посмотрите на начальство! Какъ пріѣдетъ изъ Петербурга, такъ куды тебѣ,—всѣхъ стариковъ вонъ, все молодыхъ назначаетъ, а потомъ за стариковъ же опять и принимается.

Голова. Вѣрно. А я себя не сгажу. Какъ пріѣдутъ эти новые судейскіе изъ Петербурга, я устрою обѣдъ, соберемъ деньги и сдѣлаемъ подарокъ (*уходитъ*).

Сцена вторая.

Комната почтмейстера. Въ стѣнѣ часовъ нѣтъ, а виситъ картина, изображающая женщину; на столѣ налѣво стоитъ подсвѣчникъ со свѣчей. При поднятіи занавѣса Анна Николаевна сидитъ за столомъ направо. Она починиваетъ платье.

ЯВЛЕНІЕ I.

Анна Николаевна.

Анна Николаевна. Ахъ, какъ мнѣ не хочется итти въ клубъ!.. Я ужъ четыре раза была тамъ, а ничего нѣтъ хорошаго... Кабы я танцовать умѣла?.. А дома скучно, папаша или въ трактиръ уходитъ, или къ кому-нибудь; а я одна... Никитинъ... Не знаю отчего, а Никитинъ мнѣ все меньше и меньше нравится. Онъ все споритъ съ папашей, высказываетъ, что папаша отсталый человѣкъ; со мной онъ ведетъ себя, какъ ученый, и рѣдко-рѣдко соглашаемся мы съ нимъ въ чемъ-нибудь... Сперва онъ ничего, былъ такой любезный, а потомъ сдѣлался капризенъ, придирчивъ, сталъ сердиться, что я не читаю ученыхъ статей въ книжкахъ. А для чего мнѣ эти учености?.. Вѣдь мнѣ не быть учительшей; служить меня не заставятъ... «Ты, говоритъ, должна учиться!» А къ чему?.. Я знаю, что я выйду замужъ, буду возиться съ ребятами. «Ты, говоритъ, не умѣешь съ образованными людьми держать себя!» И къ чему онъ говоритъ это, когда самъ нигдѣ не принятъ, самъ не умѣетъ съ людьми жить, какъ слѣдуетъ. Ну, зачѣмъ ему было писать въ газету о смотрителѣ. Онъ того и не сообразилъ, что, говоря о смотрителѣ, онъ трогаетъ директора... А директоръ еще обѣщалъ ему награду... Я ему потомъ говорила, чтобы онъ не трогалъ никого; нѣтъ, онъ о крестьянахъ написалъ, обругалъ Павлова и посредника... Ужъ это одно значитъ, что ему не понравилось то, что я познакомилась съ посредницей; это доказываетъ, что онъ не любитъ меня, не любилъ, а чего-то добивался... А теперь вотъ въ отставку выгнали... Жаль мнѣ его; я еще и теперь люблю его, но уже не такъ, какъ прежде... Онъ теперь безъ мѣста... Если бы онъ получилъ мѣсто, я бы пошла за него замужъ... Ну, а если онъ уѣдетъ безъ мѣста?.. И лучше... Вонъ новый слѣдователь постоянно въ клубѣ около меня увивается.

ЯВЛЕНІЕ II.

Анна Николаевна и Софья Филипповна.

Софья Филипповна. Здравствуйте. Что вы новое платье шьете?

Анна Николаевна. Нѣтъ, старое поправляю.

С. Филипповна. Плохой же у васъ женишекъ-то! Намъ, въ старые годы, женишки самую модную матерію покупали.

А. Николаевна. Что же дѣлать: онъ человѣкъ бѣдный.

С. Филипповна. Я удивляюсь вамъ, Анна Николаевна. Сколько у насъ жениховъ, и выбрали такого... Извините меня.

А. Николаевна. Что же! Онъ человѣкъ хорошій.

С. Филипповна. Хорошъ онъ теперь; неизвѣстно, что будетъ дальше... Ужъ если онъ теперь ссорится съ начальствомъ, печатаетъ объ немъ въ газетахъ, что же потомъ-то будетъ! Вы меня извините! Вы еще молоды, неопытны; вамъ вѣдь, голубушка моя, и посовѣтовать-то некому.,

А. Николаевна. Вы пойдете въ клубъ?

С. Филипповна. Поѣду... Ахъ, какъ я рада, что у насъ клубъ... Вообразите, мой мужъ вовсе отбился отъ рукъ! Чуть есть время, и бѣжитъ въ трактиръ, а тамъ командуетъ Гуляева... Вѣдь и Николай-то Петровичъ...

А. Николаевна. Полноте, Софья Филипповна! Папаша ходитъ туда на китайскомъ бильярдѣ играть, да вѣдь Гуляева-то кума.

С. Филипповна. Ну да... Вы какъ дочь... Вы не знаете, что они тамъ выдѣлываютъ, а я человѣкъ опытный. Меня не проведешь... Ему, старику, надо бы учить другихъ, а онъ... Вотъ Капитонъ Степанычъ теперь сказалъ мнѣ: пойду къ почтмейстеру, а его у васъ и нѣту!

А. Николаевна. Онъ уже съ недѣлю, какъ не бывалъ у насъ.

С. Филипповна. Скажите, какой негодяй! О! какъ бы было хорошо, если бы у насъ былъ клубъ каждый день! Ужъ пусть онъ проигрываетъ, только бы не...

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же и стряпчій.

Стряпчій. Ба!

Софья Филипповна. Гдѣ вы были?

Стряпчій. А зачѣмъ вы у судьи были? Что вы говорили судьѣ?

С. Филипповна. Я... я его и не видала... А вы зачѣмъ были въ трактирѣ? Извольте отправляться домой, сегодня клубъ.

Стряпчій. А вотъ я и не пойду именно потому, что тамъ будетъ судья (*идетъ въ двери*).

С. Филипповна. Капитонъ! Капитоша... постой (*уходитъ*).

Анна Николаевна. Какъ они смѣшны? Она упрекаетъ его Гуляевой, а сама... за судьей ухаживаетъ... И все это клубъ надѣлалъ: вѣдь она танцорка, а судья служилъ въ казенной палатѣ, а въ казенной палатѣ всѣ бухгалтеры танцоры. Но папаша! Врутъ они. Имъ хочется уязвить меня Никитинымъ, да и кстати приплетаютъ тутъ и папашу.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Анна Николаевна и Никитинъ.

Никитинъ. Что прочитала книжку?

Анна Николаевна. Гдѣ же мнѣ прочитать: она только-что вчера принесла.

Никитинъ. Анна Николаевна, вы, кажется, не въ духѣ?

А. Николаевна. Отчего же мнѣ и веселой-то быть?

Никитинъ. Ну это бываетъ: если кто куда сбирается, тотъ постоянно бываетъ сердитъ... Что это ты все въ клубъ сбираешься?

А. Николаевна. По вашему, я должна дома киснуть?

Никитинъ. Я этого не говорю; но вы сами же говорили, что вы тамъ скучаете, Анна Николаевна. Я отъ васъ не ожидалъ...

А. Николаевна. Вотъ мило! Ужъ если папаша разрѣшаетъ мнѣ ходить въ клубъ, то, я думаю, другимъ нѣтъ дѣла.

Никитинъ. Стало быть, ваши чувства ко мнѣ измѣнились?

А. Николаевна. Да, съ тѣхъ поръ, какъ вы мнѣ дали слово не писать кляузъ, и не исполнили.

Никитинъ *(встаетъ)*. Очень жаль, что мы не сошлись... А вѣдь вы сначала всѣ слова мои принимали горячо. Анна Николаевна! Неужели вы смотрите на меня иначе теперь, когда я въ отставкѣ?! Неужели только и есть служба, что учитель?!

А. Николаевна. Поступайте на службу.

Никитинъ. А вы меня любите сколько-нибудь?

А. Николаевна. Не знаю, стоите ли вы того. Вы вѣдь вовсе не хотите служить?

Никитинъ. Я вамъ этого не говорилъ. Я пришелъ къ вамъ затѣмъ, чтобы проститься.

А. Николаевна. Вы... вы ѣдете?

Никитинъ. Да, я ѣду въ губернскій городъ. У меня тамъ есть пріятели. Сначала буду заниматься перепиской... Знаете что: я хотѣлъ поступить въ университетъ, но мнѣ содержать себя нечѣмъ, потому что на моемъ попеченіи братья... Можетъ быть, мнѣ еще удастся поступить по гласному суду. Что вы на это скажете?

А. Николаевна. Поѣзжайте и пишите.

Никитинъ. Я поѣду и буду думать объ васъ. Вы не сердитесь?

А. Николаевна. Теперь нѣтъ.

Никитинъ *(обнимая Анну Николаевну)*. Прощай, моя милая... Пиши все, что съ тобой случится.

А. Николаевна. Ладно. *(утирая слезы)*. А мнѣ будетъ скучно...

Никитинъ. Ну, мнѣ пора... Я ѣду сегодня, а книжку ты оставь у себя *(цѣлуетъ ее и уходитъ)*.

А. Николаевна *(смотря въ окно)*. Экая я дура! И я еще сердилась на него... Нѣтъ, онъ меня любитъ. Онъ не пропадетъ въ губернскомъ городѣ... А если онъ другую полюбитъ?.. *(Задумывается)*.

ЯВЛЕНІЕ V.

Анна Николаевна и почтмейстеръ.

Почтмейстеръ *(выпивши)*. Этотъ прохвостъ опять приходилъ! Я тебѣ что сказалъ?

Анна Николаевна. У меня недостаетъ духу гнать того, съ кѣмъ вы сами дружны.

Почтмейстеръ. Я? я друженъ... Да я ему всѣ бока обломаю... Онъ хочетъ и меня описать! А?

А. Николаевна. Онъ этого не сдѣлаетъ.

Почтмейстеръ. Молчать!.. Вотъ тебѣ сказъ: ты выйдешь замужъ за казначейскаго бухгалтера Чучелу.

А. Николаевна. Никогда!

Почтмейстеръ. Выгоню!

А. Николаевна *(кидаясь почтмейстеру на шею)*. Папаша, милый мой! Вѣдь Никитинъ-то сейчасъ ѣдетъ въ губернскій городъ.

Почтмейстеръ. Зачѣмъ?

А. Николаевна. Ему тамъ обѣщали мѣсто.

Почтмейстеръ. Отчего же онъ мнѣ не сказалъ объ этомъ?.. Нѣтъ, матушка, я больше твоего вижу: онъ уѣхалъ для того, чтобы не жениться на тебѣ... И я, дуракъ!.. И не подумалъ же я объ томъ, что онъ можетъ обмануть... Ахъ дочка, дочка! Какъ мы съ тобой просты... Ну, матушка, обрадовала!

А. Николаевна. Я же увѣряю васъ, что онъ какъ только получитъ мѣсто, такъ и женится.

Почтмейстеръ. А я тебѣ говорю — онъ вретъ!.. Знаю я этихъ прогрессистовъ... Поэтому теперь въ моемъ домѣ не будетъ ни одна нога прогрессиста. И я закажу Моргунову, что если только прогрессистъ съ жиденькими ножками войдетъ на крыльцо, — полѣномъ, такъ и проводить за ворота полѣномъ. А ты выйдешь замужъ за бухгалтера, если только любишь старика-отца. И домъ тебѣ благословлю *(уходитъ въ комнату)*.

А. Николаевна. Боже мой!.. Этотъ Чучело пьяница и картежникъ!..

Сцена третья.

Большая комната въ клубѣ съ драпировками на дверяхъ — по правую и по лѣвую сторону и въ срединѣ углубленія. По угламъ столы съ подсвѣчниками и съ зажженными свѣчами: недалеко отъ двери налѣво диванъ, передъ диваномъ столъ съ газетами и съ двумя свѣчами; сквозь среднія двери видна ярко освѣщенная зала, въ которой гуляютъ дамы и кавалеры.

ЯВЛЕНІЕ I.

Смотритель (сидитъ на диванѣ и держитъ газету).

Смотритель *(снимая очки)*. Чортъ возьми этотъ прогрессъ: совсѣмъ ослѣпъ въ этихъ очкахъ! *(Наставляя ухо къ двери)*. Это про меня... «Ивановъ негодяй!» каково!.. Фу! Не могу разобрать... «Онъ напрасно выжилъ Никитина». Напрасно. Да эта рябая форма мнѣ покою не давалъ! Пусть-ко онъ теперь пошатается *(слушаетъ)*. А! хорошо. Это разсуждаетъ судья... Скотина *(вскакиваетъ)*. Боже мой. Посредникъ хочетъ описать... Опять меня описать!.. Такъ я же вамъ покажу!

Я уговорю исправника, чтобы онъ всѣми силами не допускалъ учрежденія женскаго училища! Богъ знаетъ, чему эта госпожа научитъ дѣвуше... *(слушаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ II.

Смотритель, Павловъ съ Зинаидой Карловной входитъ изъ двери направо.

Павловъ *(тихо).* Посмотри душенька—смотритель-то?

Зинаида Карловна *(подходя къ смотрителю).* Подслушиваете?

Смотритель *(растерявшись).* Я... кольцо чистилъ-съ!

Павловъ. Ха-ха! Иногда не мѣшаетъ подслушать, если сами неизобрѣтательны *(Павловъ уходитъ налѣво, Зинаида Карловна уходитъ въ залъ).*

Смотритель. Погибъ! Теперь они острамятъ меня... Ну, да у меня есть защита въ директорѣ.

ЯВЛЕНІЕ III.

Смотритель и два гостя (входятъ изъ двери налѣво).

1-й гость *(смотрителю).* О чемъ подслушали?

2-й гость. Хорошее дѣло—это васъ рекомендуетъ. Пойдемте, выпьемъ.

Смотритель. Господа! Павловъ со злобы выдумалъ. Я, ей-Богу, газету читалъ.

1-й гость. Можетъ быть. Пойдемте. Благо вы врага своего избавились. А мы его хотимъ сегодня исключить. *(Уходитъ направо).*

ЯВЛЕНІЕ IV.

Софья Филипповна съ Татьяной Ѳедоровной (входятъ изъ залы).

Татьяна Ѳедоровна. Я никакъ не хотѣла ѣхать, но знаете, Лиза... Нынче завелся какой-то прогрессъ, такъ что дѣвушкѣ необходимо выѣзжать въ клубъ.

Софья Филипповна. Да. Оно знаете и проще, и дешевле, чѣмъ дома устраивать вечера.

Т. Ѳедоровна. Представьте: почтмейстерская дочь здѣсь... Вѣдь почтмейстеръ ничто, а туда же лѣзетъ.

С. Филипповна. Но ее посредница вездѣ суетъ.

Т. Ѳедоровна *(съ презрѣніемъ).* Нигилистка! *(уходятъ направо).*

ЯВЛЕНІЕ V.

Анна Николаевна съ Зинаидой Карловной (входятъ изъ двери направо).

Зинаида Карловна. Какъ мало танцующихъ, Анна Николаевна... Вы не знаете, съ кѣмъ танцуетъ Никаноръ Васильичъ?

Анна Николаевна. Не знаю.

З. Карловна. Вы его предупредите: противъ него затѣвается нашими кавалерами что-то нехорошее... На него ужасно разсержены Павловъ, и дворяне, и мой мужъ. Я по поводу статьи даже имѣла сцену съ Павловымъ и даже разссорилась; а что касается до моего мужа, то я его держу въ рукахъ. Вы знаете, я такая женщина, что, если захочу чего-нибудь, то непремѣнно они сдѣлаютъ по-моему. Но я бы вамъ совѣтовала предупредить Никанора Васильича, чтобы онъ ушелъ изъ клуба раньше другихъ *(уходятъ въ залъ).*

ЯВЛЕНІЕ VI.

Павловъ и посредникъ (входятъ изъ двери налѣво).

Павловъ. Никитина слѣдуетъ выгнать!

Посредникъ. Опять опишетъ.

Павловъ. Ну завести куда-нибудь и, знаете, этакъ *(показывая рукой)* хорошенько... *(уходятъ въ залъ).*

ЯВЛЕНІЕ VII.

Елизавета Анфиногеновна и уѣздный лѣкарь (входятъ изъ залы).

Елизавета Анфиногеновна. Вы прогрессистъ?

Лѣкарь. Трижды прогрессистъ и люблю васъ всей душой.

Е. Анфиногеновна. А гдѣ душа?

Лѣкарь. Душа есть... отправленіе мозговой дѣятельности.

Е. Анфиногеновна. Неправда! Я ученѣе васъ: душа есть легкія и сидитъ... сидитъ въ уголкѣ легкихъ *(уходятъ въ залъ).*

(Играетъ музыка. Въ залѣ танцуютъ).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Исправникъ, стряпчій и двое гостей (входятъ изъ залы).

Исправникъ. Нѣтъ, господа, что вы ни говорите, а это непримѣнимо. Вы возьмите то въ соображеніе: вошли ли эти правила новаго судопроизводства въ наши законы? Нужно сперва передѣлать всѣ законы, заставить выучить ихъ нашему брату, и потомъ уже земство, гласный судъ. Возьмите земство? Кто знаетъ земскіе уставы? И Павловъ мошенничаетъ, потому-что онъ одинъ изучилъ ихъ досконально.

Стряпчій. Справедливо *(гостямъ).* Постучимъ?

(Исправникъ уходитъ въ залъ. Гости и стряпчій садятся за столъ).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Играющіе. Голова, судья, почтмейстеръ и частный приставъ (входятъ изъ залы).

Стряпчій. Гольца!

Судья. Они того и не сообразили, съ какимъ

народомъ приходится имѣть дѣла. Повѣрьте, гласный судъ только фраза. Правила выпущены прогрессистами для взбаламученія молодежи... Я имѣю письма отъ правителя губернаторской канцеляріи, что гласнаго суда не будетъ, что этими правилами насъ только испугать хотѣли.

Почтмейстеръ. Извините-съ! Мнѣ сынъ пишетъ, что окружной судъ будетъ въ нашемъ городѣ.

Судья. Вретъ! Вашего сына нужно проморить въ кутузкѣ наравнѣ съ прочими сумасшедшими.

Частный приставъ. Исправникъ тоже говоритъ, что окружной судъ здѣсь будетъ.

Голова. А мнѣ земская управа предписала найти домъ для этого суда. И какой домъ! Въ три-ста-а ком-на-тъ!

Почтмейстеръ *(судьѣ)*. Что? Подтачиваютъ! Сыграемъ-ка лучше! Теперь-то съ васъ и выиграть. *(Садятся за другой столъ и играютъ).*

ЯВЛЕНІЕ X.

Играющіе. Зинаида Карловна и дама (входятъ изъ залы).

Зинаида Карловна. Отъ васъ я не ожидала!.. Женская гимназія нужна, нужна. Прогрессъ... движеніе впередъ *(закрывается)*.

Дама. Это несовременно... Я, пожалуй, согласна съ тѣмъ, чтобы гимназія существовала для глаза отъ умиленія дворянокъ, но чтобы вмѣстѣ съ дворянками обучались и... Воля ваша! *(Уходитъ налѣво).*

ЯВЛЕНІЕ XI.

Играющіе. Исправникъ съ Софьей Филипповной (входятъ изъ залы).

Исправникъ *(играющимъ за столомъ, гдѣ почтмейстеръ)*. Везетъ ли, Николай Васильичъ?

Судья. Проигрываюсь.

Почтмейстеръ. У судьи въ головѣ гласный судъ *(ходитъ)*. Видали?! А! Это значитъ... стараго судью по боку!

Софья Филипповна *(судьѣ)*. Что вы не танцуете?

Судья. Кончено! *(Бросая карты, встаетъ)*. Я согласенъ.

(Исправникъ уходитъ налѣво, судья беретъ за руку Софью Филипповну).

С. Филипповна *(подойдя къ столу, за которымъ играетъ стряпчій. Стряпчему)*. Каково?

Стряпчій. Не ваше дѣло!

С. Филипповна. Прошу не рисковать. Есть ли у васъ деньги?.. Ха-ха *(Судьѣ)*. Я его всегда такъ.

(Уходятъ въ залъ).

Голова. Игра разстроилась. Пойдемте-ка, освѣжимся.

(Голова, почтмейстеръ и частный приставъ уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Два гостя, стряпчій и лѣкарь (входятъ изъ залы).

Лѣкарь *(держа бумагу и карандашъ)*. Господа! Такъ какъ г. Никитинъ напечатаніемъ въ газетѣ кляузы оскорбилъ всѣхъ дворянъ и представителей сего города, находящихся здѣсь на лицо, то по приказанію хозяина клуба и начальника города предлагается вамъ подписать сію бумагу, сущность которой заключается въ томъ, чтобы г. Никитина никому не вводить въ клубъ подъ видомъ гостя.

Стряпчій. Не рѣзко ли это? Нельзя ли сгладить?

Лѣкарь. Фу, чортъ возьми! Васъ просятъ подписать, а не процензировать: помните, что здѣсь нѣтъ стряпчаго...

(Гости подписываются).

Стряпчій. Нѣтъ, ужъ вы пошлите бо имъ на домъ!

Лѣкарь *(не слушая)*. Также предлагается къ исключенію изъ членовъ клуба г. почтмейстеръ за то, что онъ помогалъ отправлять кляузы въ газету.

Стряпчій *(встаетъ)*. Это еще что за пода!

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же, голова, почтмейстеръ и частный приставъ.

Лѣкарь *(не слушая)*. Или обязать подпиской, чтобы онъ, г. почтмейстеръ, впредь всѣ письма, адресуемыя въ редакціи газетъ, распечатывалъ.

Голова. Какъ?! Чтобы я позволилъ почтмейстеру свое письмо распечатать! Да вы бѣлены объѣлись!

Почтмейстеръ. Что? что такое?

Стряпчій. Лѣкарь желаетъ вмѣстѣ съ прочими прогрессистами исключить васъ изъ клуба.

Почтмейстеръ. Извольте!.. Я только дочь позову *(идетъ къ двери въ залъ)*. *(Лѣкарь уходитъ).*

Голова *(тащитъ почтмейстера за руку)*. Постой, не горячись!.. Ты знаешь, ихъ тьма... Пожалѣй дочь.

Почтмейстеръ. Нѣтъ, я уйду.

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Тѣ же и исправникъ изъ зала.

Исправникъ. Потише, господа!

Голова. Гдѣ у васъ справедливость: за что вы почтмейстера выгоняете?

Исправникъ. И не думалъ? Что такое?!

Голова. Вонъ лѣкарь съ бумагою... Убѣжалъ... *(почтмейстеру)*. Пойдемъ, братъ, выпьемъ.

Исправникъ *(почтмейстеру)*. Николай Петровичъ... Вы сами себѣ навязали эту непріятность черезъ Никитина. Никитина въ клубѣ больше не будетъ, а такъ какъ лѣкаря я не уполномочивалъ устраивать противъ васъ что-нибудь, то я, по

окончаніи танцевъ, заставлю его публично извиниться передъ вами.

Голова. Въ первый разъ вы умную рѣчь сказали.

(Голова и почтмейстеръ уходятъ налѣво. Исправникъ и частный садятся на диванъ).

Исправникъ *(закуривая трубку)*. Вы посмотрите за Никитинымъ.

Частный приставъ. Да онъ уже уѣхалъ.

Исправникъ. А! И отлично сдѣлалъ. Я вѣдь противъ него ничего не имѣлъ, но статья такая, что, знаете, не мѣшаетъ обезопасить себя *(частный уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ XV.

Исправникъ, стряпчій, двое гостей и Татьяна Ѳедоровна изъ залы.

Татьяна Ѳедоровна *(подходя къ исправнику и садясь на диванъ)*. Уфъ! Какъ жарко... Анфишенька! другъ мой, я прошу, я требую: прекрати танцы. Ты знаешь, я въ интересномъ положеніи, и мнѣ пора домой... Кромѣ этого, я не желаю, чтобы Лиза танцовала съ лѣкаремъ!

Исправникъ. Опять она съ лѣкаремъ?

Т. Ѳедоровна. Да... Ну какая онъ ей партія! *(уходитъ направо)*.

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Тѣ же, голова, почтмейстеръ, частный приставъ и еще трое гостей.

Почтмейстеръ. Ну, играть — такъ играть *(Исправнику)*. Не хотите ли, Анфиногенъ Григорьичъ, постучать?

Исправникъ. Мнѣ что-то нездоровится. Я домой думаю ѣхать.

Голова. Ну, а мы постучимъ.

(Всѣ садятся и начинаютъ играть. Музыка играетъ мазурку).

Исправникъ *(про себя)*. Мнѣ эти клубы и самому не нравятся, потому что я долженъ постоянно тратить деньги на наряды... Лиза теперь совсѣмъ отбилась отъ рукъ и готова своею особою изобразить живую картину въ пользу бѣдныхъ... Но я покажу имъ себя. Мнѣ не забыть ихняго пикника, на которомъ меня опоили, чортъ знаетъ чѣмъ, и отъ котораго у меня еще и теперь спина болитъ... Павловъ и теперь издѣвается надо мной... Такъ покажу же я имъ. *(Идетъ къ двери въ залъ и останавливается въ дверяхъ)*. Такъ и есть! Лѣкаришка танцуетъ съ Лизаветой, судья— съ женою стряпчаго, Павловъ—съ женою посредника... Это, наконецъ, безнравственность! *(Кричитъ)*. Музыка, перестать!

Почтмейстеръ. Браво!

Голоса въ залѣ. Музыка, играй!

Исправникъ. Музыка, не играй! Вонъ!!

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Тѣ же, Павловъ, посредникъ, судья, Зинаида Карловна, гости.

Павловъ *(исправнику)*. Какое вы имѣете право останавливать музыку?

Исправникъ. Не ваше дѣло!

Посредникъ. Мы просимъ васъ объясниться.

Павловъ. Мало—извиниться!

Исправникъ. Не нужно мнѣ вашего извиненія! Вы завели безнравственность, и я, какъ начальникъ города, приказываю считать клубъ закрытымъ *(уходитъ)*.

(Всѣ въ изумленіи).

Павловъ *(посреднику)*. Вотъ вамъ и сліяніе!

Посредникъ. Это изъ рукъ вонъ *(оглядываясь)*. Гдѣ Никитинъ?

Почтмейстеръ *(вставая и улыбаясь)*. Уѣхалъ-съ!... Сегодня уѣхалъ... въ Петербургъ!

(Всѣ смотрятъ на почтмейстера; одни съ удивленіемъ, другіе съ презрѣніемъ, третьи съ улыбкой).

Занавѣсъ падаетъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Комната почтмейстера, какъ и въ третьемъ дѣйствіи, съ тою разницею, что на столѣ налѣво лежатъ снаряды къ лодкѣ, какъ и въ первомъ дѣйствіи. При поднятіи занавѣса почтмейстеръ сидитъ въ халатѣ за столомъ и стругаетъ дощечку; Анна Николаевна, сидя за столомъ направо, шьетъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Почтмейстеръ и Анна Николаевна.

Почтмейстеръ *(смотря на дощечку)*. Перестругалъ. *(Примѣривая къ перу)*. Такъ и есть... И отчего это всегда такъ: гдѣ недоструживешь, гдѣ переструживешь?..

Анна Николаевна. Я думаю, тутъ нужна сноровка какая-нибудь, да и пословица говоритъ: вѣкъ живи, вѣкъ учись.

Почтмейстеръ. Именно, что вѣкъ живи и вѣкъ учись; къ этому бы еще слѣдовало прибавить—не гляди по воробьямъ. Я все объ этомъ думаю: какое хорошее житье было нашимъ родителямъ. Возьмите, напримѣръ, чиновниковъ: ни о чемъ-то они не думали, кромѣ своего стула да стола. Утромъ наѣстся, потомъ на службу пойдетъ, въ первомъ часу пообѣдаетъ, выспится, чаю напьется, опять пойдетъ на службу, въ девять часовъ поужинаетъ и спать ляжетъ. Даже тогда и часы-то имѣли одни богатые... И ни о чемъ-то они не думали, кромѣ того, какъ бы угодить своему ближайшему начальнику, да чтобы животъ не просилъ ѣсть, когда ему на это не указано. И я удивляюсь: какъ это отцы наши изворачивались на шестирублевомъ жалованьи!?

А. Николаевна. Прогрессъ, папаша. Теперь чиновники стали не въ мѣру употреблять горькіе напитки, стали играть въ карты, —однимъ словомъ, заботятся больше объ удовольствіяхъ для самихъ себя, а тогда заботились о своихъ семействахъ.

*

Почтмейстеръ *(про себя)*. Не въ бровь, а прямо въ глазъ. *(Аннѣ Николаевнѣ)*. Да, правда. Такъ неужели это проклятое слово «прогрессъ» означаетъ эту перемѣну?

А. Николаевна. Никитинъ мнѣ толковалъ, да я и по книгамъ догадалась.

Почтмейстеръ. А я вѣдь думалъ, что это —прогрессъ, насмѣшка какая-нибудь... Вонъ нынче стали бороды отращивать, ну, я и думалъ— прогрессъ, и хотѣлъ для потѣхи купить себѣ бороду, только не зналъ какую... Я бы, пожалуй, и разорился, если бы существовалъ клубъ.

А. Николаевна. Вотъ видите! Прежде чиновники на эдакіе пустяки тратили деньги только въ святки, да и то молодежь. А что, папаша, не слышно, откроютъ клубъ или его вовсе не будетъ?

Почтмейстеръ. Разумѣется, откроютъ; дай отрезвиться публикѣ. Хотя этотъ скандалъ былъ зимой, а теперь лѣто, и исправникъ переведенъ въ другой уѣздъ, публикѣ все-таки не забыть его. И скандалъ не забудется до тѣхъ поръ, пока партіи не поумнѣютъ. Ты знаешь, вѣдь у насъ три партіи: купцы, которые живутъ особнякомъ и только изъ моды идутъ туда, гдѣ можно много ѣсть, пить и дебоширить; чиновники гражданскіе, которые считаютъ во главѣ исправника и Павлова, къ которому пристали всѣ новые судейскіе и другіе прогрессисты.

А. Николаевна. Да. Вотъ теперь и Дудкинъ ужъ не голова.

Почтмейстеръ. Напрасно. Такого головы теперь не скоро сыщешь. Онъ хоть и простъ былъ, ко всѣмъ ходилъ запросто, хотя и ворочаетъ сотнями тысячъ, а дѣло свое зналъ, и городъ ему всегда благодаренъ за то, что онъ сдѣлалъ мостъ черезъ рѣчку.

А. Николаевна. Хорошъ мостъ, если по немъ и пѣшкомъ-то опасно ходить!

Почтмейстеръ. Ну да, съ тѣхъ поръ какъ земство взяло этотъ мостъ себѣ... А теперешній голова только и заботится о томъ, какъ бы народъ раззорить! Развѣ это не денной грабежъ: собрали деньги на освѣщеніе города, на устройство мостовыхъ, на какія-то подземныя трубы... Ну къ чему это?.. И вотъ погляди, что ничего не будетъ—ни фонарей, ни граненыхъ дорогъ; новый голова раздѣлитъ денежки съ Павловымъ, и никто ихъ не усчитаетъ, потому что чиновники мѣняются, а мѣщанамъ развѣ дадутъ вѣру? А если и дадутъ вѣру, такъ голова потомъ ихъ же раззоритъ.

А. Николаевна. Однако, и Дудкинъ-то вѣдь попался въ поставкѣ провіанта.

Почтмейстеръ. Гдѣ жъ онъ попался-то! Ну, положимъ, онъ закупилъ муку дрянную, что жъ смотрѣли пріемщики-то?.. Тутъ онъ ничѣмъ невиновенъ, и я знаю, что онъ деньги съ казны получитъ сполна, если за это дѣло возьмется Филатовъ... И я всѣмъ скажу, что Никитинъ набитый дуракъ. Отчего же бы ему не взяться за это дѣло: вѣдь Дудкинъ-то давалъ ему тысячу рублей за хлопоты. Тысячу рублей!.. Да если бы я былъ рѣчистъ, я бы всѣхъ чиновниковъ, которые брали съ Дудкина деньги, подъ судъ отдалъ... А на эту бы тысячу какую бы себѣ соорудилъ лодку... Благо, соображенія Павлова насчетъ почты не приняли въ губерніи, потому испугались почтамта.

А. Николаевна. Никаноръ Васильичъ отказался потому, что дѣло нечестное.

Почтмейстеръ. А кто онъ такой, позволь тебя спросить? Онъ ни больше, ни меньше, какъ писецъ.

А. Николаевна. Ошибаетесь, папаша, онъ письмоводитель у мирового судьи.

Почтмейстеръ. Экое хорошее занятіе!..Нѣтъ, матушка, ты не смѣй мнѣ хвалить Никитина... Кабы онъ былъ умный человѣкъ, давно бы ужъ получилъ судебнаго слѣдователя... А еще тоже жениться собирался... Говорю—выходи за Чучелу. У нихъ теперь большое жалованье въ казначействѣ.

А. Николаевна. Папаша, вы мнѣ скажите прямо, мѣшаю я вамъ; тогда я выйду, за кого прикажете; только знайте, что плохая будетъ жизнь и мнѣ, и мужу. Вѣдь нельзя же любить насильно того, къ кому не лежитъ сердце. *(Плачетъ)*. Вы сами, папаша, виноваты. Зачѣмъ вы приглашали Никитина, оставляли насъ однихъ на дому разговаривать?.. Вѣдь Никитинъ-то къ намъ ходилъ два года.

Почтмейстеръ. То-то и есть, что я былъ глупъ: я вѣдь думалъ, что онъ можетъ смотрителемъ сдѣлаться, а вышло, что онъ теперь козъ гоняетъ. И поэтому тебѣ не слѣдъ выходить замужъ за такого человѣка, который не имѣетъ опредѣленнаго занятія... Я самъ женился тогда, когда былъ почтальономъ и когда житье хорошее было; я тогда даже свой домъ имѣлъ. Пусть онъ получитъ судебнаго слѣдователя, и съ Богомъ.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и лѣкарь.

Лѣкарь *(почтмейстеру)*. Что же вы, не пойдете развѣ?

Почтмейстеръ. А развѣ сегодня?

Лѣкарь. Да, какъ же! Одѣвайтесь. Вѣдь если не пойдете, то взыщутъ штрафъ—двадцать пять рублей... А, вы трусите?!

Почтмейстеръ. Чего трусить... Оно, конечно, не письменно... Только вѣдь будутъ спрашивать: какъ было дѣло. А вы отчего не въ формѣ? *(Встаетъ)*.

Лѣкарь. Для чего: вѣдь я буду показывать какъ частный человѣкъ.

Почтмейстеръ. Нѣтъ, ужъ я напялю форму: пусть судья знаетъ, что я почтмейстеръ *(уходитъ)*.

Лѣкарь. *(Аннѣ Николаевнѣ)*. Что Никаноръ Васильичъ пишетъ?

Анна Николаевна. Я уже давно не получала писемъ.

Лѣкарь. Я нахожу, что онъ человѣкъ пустой, именно потому, что онъ не могъ вывернуться, какъ слѣдуетъ.

А. Николаевна. Какъ это?

Лѣкарь. Накуралесилъ, а потомъ и струсилъ... Анна Николаевна...

А. Николаевна. Что прикажете?

Лѣкарь. Вы на меня не сердитесь?

А. Николаевна. Мнѣ смѣшно... особенно... какъ вы предложили въ клубѣ не приглашать Никитина, когда онъ уже уѣхалъ.

Лѣкарь. Знаете... мнѣ даютъ мѣсто по земству. Жалованья восемьсотъ рублей, своя аптека, лѣкарскій ученикъ, фельдшера, повивальныя бабки.

А. Николаевна. Отлично.

Лѣкарь *(вынимая записку)*. Такъ я... вотъ... Прочтите это и извѣстите меня... черезъ Моргунова.

А. Николаевна. Но къ чему? Развѣ нельзя на словахъ... Нынче вѣдь гласность.

Лѣкарь. Вы прочтите... Я не рѣчистъ.

Почтмейстеръ *(выходя одѣтый)*. Я готовъ... Ну, что вы будете показывать?

Лѣкарь. А вы?

Почтмейстеръ. Нѣтъ, вы?

Лѣкарь. Я скажу: Егоровъ первый ударилъ Филатова.

Почтмейстеръ. Вотъ и врете: Егоровъ плюнулъ въ Филатова, когда Филатовъ невѣрно сходилъ кіемъ, а потомъ ужъ Филатовъ ударилъ Егорова.

Лѣкарь. А ровно... Ну, да я покажу по-вашему. Только вы смотрите не измѣните.

Почтмейстеръ *(даетъ лѣкарю бумажку)*. Вотъ вытвердите: я тутъ записалъ все, какъ было.

Лѣкарь *(жметъ руку Аннѣ Николаевнѣ)*. Счастливо оставаться.

А. Николаевна. Я бы пошла, да некогда.

Почтмейстеръ. Ну ужъ нѣтъ! При дочери я оробѣю. *(Уходитъ съ лѣкаремъ)*

ЯВЛЕНІЕ III.

Анна Николаевна.

Анна Николаевна *(читаетъ записку)*. Скажите!.. Ха-ха! Вотъ ужъ никакъ не думала, что лѣкарь будетъ свататься. Не даромъ онъ такъ часто ходилъ къ намъ... Ха-ха! Ну ужъ и женишекъ! Да вы, вѣроятно, г. лѣкарь, стыда не имѣете! Вы уморили мою мать... *(Читаетъ)*. И онъ еще пишетъ, что мамашу нельзя было вылѣчить, потому что ея болѣзнь была неизлѣчимая и какія-то латинскія названія написалъ... Очень мнѣ нужно знать его латинщину... Выхваляетъ всѣ свои достоинства. Я, пишетъ онъ,—хотя и не молодъ, хотя и жилъ не такъ скромно, но деньги у меня есть... Знаю я, что вы здѣсь всѣмъ задолжали... вы хотите папашу обмануть... Ошибаетесь! Папаша самъ теперь начинаетъ забирать въ долгъ, потому что теперь уже и ему никто не даетъ ни чаю, ни сахару, ни вина. Господи! Что мнѣ дѣлать съ собой? Папаша очень слабъ: какъ выпьетъ,—ему все ни по чемъ, начинаетъ заговариваться. Замужъ итти мнѣ не хочется, а жить у папаши тяжело, да и папаша то-и-дѣло получаетъ выговоры, пожалуй, и его уволятъ въ отставку, и тогда я ему буду въ тягость... Сама заработывать себѣ кусокъ хлѣба не умѣю, а шить здѣсь не на кого... Неужели въ самомъ дѣлѣ мнѣ придется итти замужъ... и за лѣкаря *(плачетъ)*.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Анна Николаевна и Моргуновъ.

Моргуновъ. Ну вотъ!.. Эдакая оказія, куда ни придешь, вездѣ али хохотъ, али слезы... Что, тебя отецъ опять разобидѣлъ?

Анна Николаевна. Нѣтъ.

Моргуновъ. Э-эхъ! Говорилъ, не клади пальца въ ротъ—откуситъ... Лучше бы, право, было, кабы вы ничему не учились, кромѣ хозяйства, а то какъ живете по книжкамъ, вотъ и плачете.

А. Николаевна. Ты не знаешь, о чемъ говоришь.

Моргуновъ. Нѣтъ, все знаю... Я хотя и въ конторѣ живу, а все вижу. Мнѣ самому больно. Вѣдь ты назадъ тому годъ какая была красавица! Лицо румяное, сама пухленькая—прелесть, а теперь спичка-спичкой, и лицо побѣлѣло.

А. Николаевна. Что же!.. Вѣдь и ты сталъ тоже спичка-спичкой, и волосъ у тебя за это время много посѣдѣло.

Моргуновъ. Эхъ! *(машетъ рукой)* Анушка,—скажи мнѣ по правдѣ: была вчера вечеромъ здѣсь моя жена?

А. Николаевна. А что?

Моргуновъ. Зачѣмъ она была?

А. Николаевна. Она вовсе не была. Я ее уже три недѣли не видала.

Моргуновъ. Ну такъ и есть! Ахъ, ты бѣда!

А. Николаевна. Опять что-нибудь накуролесила?

Моргуновъ. И все я виноватъ, Ужъ чего, кажется, она ни дѣлала своими хитростями, кажется, надо бы держать ухо востро,—нѣтъ: ума нѣту. Вотъ вчера. Пристала: Степанычъ, у насъ деревяннаго масла нѣтъ, сегодня, говоритъ, суббота, грѣхъ не зажечь передъ образомъ, дай, говоритъ, гривенникъ... Я посмотрѣлъ—въ лампадкѣ ничего нѣтъ; купить надо; а самому итти не хотѣлось, потому я пошелъ рыбу удить. Ну и далъ гривенникъ. Только, это прихожу я домой съ рыболовства, она, матушка моя, ужъ спитъ. Вонъ она какова! И подъ подушкой бутылка; и пустая... Хошь бы чуточка! Зло меня взяло. Сегодня утромъ спрашиваю: гдѣ масло? А я, говоритъ, къ почтмейстеру заходила, такъ Анна Николаевна выпросила для лампадки, а остальное, говоритъ, сгорѣло... Ну, я ее, грѣшенъ человѣкъ, ударилъ. А на что? Какъ выбѣжитъ на улицу и закричитъ караулъ! къ мировому пойду!.. Ну и что жъ бы ты думала? Иду я мимо мирового суда, она тамъ на крыльцѣ трясется. «Ты, говоритъ, меня избилъ, такъ я, говоритъ, хочу удовлетворенія»... А я знаю: она спьяна-то пойдетъ вѣдь къ мировому.

А. Николаевна. Ничего: судья увидитъ, что она пьяная, прогонитъ.

Моргуновъ. Это что! Нѣтъ, теперь всѣ будутъ дразнить меня тѣмъ, что на меня же она мировому судьѣ жаловалась... Вотъ они какія времена-то настали!.. Прежде пойди-ка бы она въ судъ, я бы ее всю исколотилъ, а теперь, на вотъ, ударилъ ее, и пошла, а нонѣ за всяку пощечину

въ острогѣ насидишься. Вонъ одинъ приказный изъ-за жены въ острогѣ мѣсяцъ высидѣлъ!

А. Николаевна. Ты бы ее лаской какъ-нибудь.

Моргуновъ. Захотѣла ты ласку! Да ты ее стань ласкать, такъ она сядетъ на тебя и заставитъ нести въ кабакъ. И что это такое съ ней сдѣлалось? И всего какіе-нибудь полгода идетъ такъ-то.

А. Николаевна. Нѣтъ ли тутъ причины какой-нибудь: вѣдь она моложе тебя.

Моргуновъ. Ну?

А. Николаевна. Можетъ-быть, она разлюбила.

Моргуновъ. Какъ это?

А. Николаевна. Можетъ-быть... ей кто-нибудь понравился.

Моргуновъ *(сердито)*. Понравился! Какой чортъ можетъ понравиться почтаменской женѣ!

А. Николаевна. Вѣдь она человѣкъ.

Моргуновъ. Ужъ пожалуйста... Я больше знаю... Къ намъ, кромѣ кума Александра Степаныча, никто не ходитъ... Онъ славный человѣкъ. Нѣтъ, ее испортили!

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же, Ребровъ и Окуневъ. (Ребровъ въ пиджакѣ, Окуневъ въ пальто).

Ребровъ. А гдѣ самъ?

Окуневъ. Мы только-что отъ обѣдни. Думаемъ: дай, зайдемъ газетки почитать.

(Моргуновъ уходитъ).

Анна Николаевна. Папаша ушелъ къ мировому судьѣ съ лѣкаремъ.

Ребровъ. Зачѣмъ?

Анна Николаевна. Сегодня судья судитъ Филатова съ Гавриловымъ.

Ребровъ. Какъ? въ воскресенье!.. Да это безбожно!!

Окуневъ. Новыя времена—прогрессъ!

Ребровъ. А, подите вы со своимъ прогрессомъ... Мнѣ вотъ что удивительно: зачѣмъ Николай Петровичъ пошелъ къ судьѣ. Вѣдь онъ должностной человѣкъ; онъ могъ бы написать объясненіе... Онъ свою должность этимъ роняетъ.

Анна Николаевна. Онъ бы не пошелъ, да лѣкарь его утащилъ.

Ребровъ. Ну этотъ человѣкъ вездѣ суется *(Окуневу)*. Надо переждать.

Анна Николаевна. Вы посидите; они, должно быть, скоро придутъ *(уходитъ въ прихожую)*.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Ребровъ и Окуневъ.

Ребровъ. Схлыздилъ женишекъ-то.

Окуневъ. Она дожидается, когда его мировымъ судьей сдѣлаютъ.

Ребровъ. Не упоминайте мнѣ мирового судью! Будто нѣтъ другого разговора.

Окуневъ *(хохочетъ)*. Теперь только и разговоровъ-то, что про новый судъ; куда ни придешь, вездѣ онъ какъ бѣльмо на глазу. На что, и у почтмейстера ужъ тишь да гладь, а и тутъ... тутъ даже оказывается, что самъ почтмейстеръ судится. А вѣдь про насъ ничего не говорили?

Ребровъ. Нечего было говорить, потому что мы свое дѣло въ тиши дѣлали... Интересно, чѣмъ этотъ мировой рѣшилъ дѣло Филатова; по-моему, Егоровъ долженъ получить порядочный штрафъ.

Окуневъ. Ну, а нынче не такъ: штрафъ берутъ въ казну.

Ребровъ. А это что означаетъ?

Окуневъ. Всеобщее безденежье... А что, правда ли, что судья Валандинъ нанимаетъ для суда домъ противъ вашего дома.

Ребровъ. Типунъ бы вамъ на языкъ!.. Ну что вы пристали-то! Вѣдь и васъ тоже оставили за штатомъ. Не попали же вы въ товарищи прокурора?... А ужъ, кажется, вы придира была порядочная.

Окуневъ. Что жъ дѣлать! Оттого что я былъ придира, такъ я только деревянный домъ нажилъ, а вы отъ однихъ подписываній нажили каменный двухъ-этажный домъ... Вы еще хотѣли другой строить, да неудалось...

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и смотритель.

Смотритель. Куда не придешь—и вы тамъ!

Окуневъ. Мы заштатные... Отчего это до васъ не добираются?

Смотритель. Пока живъ директоръ, и я буду здѣсь смотрителемъ... А я вчера былъ на мировомъ съѣздѣ — великолѣпіе! Какая вѣжливость! Его, подлеца, нужно по мордѣ, а предсѣдатель говоритъ: прошу садиться, и все—вы, васъ, вамъ...

Окуневъ. И то хорошо, что вы хоть грамматику снова твердить стали.

Ребровъ. А я нахожу, что у нынѣшнихъ людей вотъ тутъ *(тычетъ въ лобъ пальцемъ)* неладно.

Смотритель. И вообразите, чѣмъ они берутъ, эти судьи?

Ребровъ. Важностью.

Смотритель. Этого мало. Тутъ сказалъ хорошо, записалъ всѣхъ и все—и правъ, и дѣло выиграно. Я въ губернскомъ наслушался этихъ судовъ. Тутъ, господа, вся суть... въ чемъ бы вы думали... Тутъ вся сила заключается въ томъ, чтобы другъ дружку какъ-нибудь... такъ... эдакъ...

Ребровъ. *(Окуневу)*. Слышите, какъ лупитъ!

Окуневъ *(смотрителю)*. Эту рѣчь вы изъ губернскаго привезли... изъ новыхъ судовъ?

Смотритель. Нынѣшній судъ есть краснорѣчіе!

Ребровъ *(ударяя себя по головѣ)*. Ба! Краснорѣчіе... Новый судъ есть краснор-рѣ-чіе *(стряпчему)*. Пойдемте! *(суетится)*.

Окуневъ *(хохочетъ)*. Чему обрадовались-

то!.. Будто неизвѣстно... Всякій мальчишка знаетъ, что новый судъ есть краснорѣчіе; а у насъ съ вами и сало во рту застываетъ, какъ ротъ разинемъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и почтмейстеръ.

Почтмейстеръ. *(Утираетъ лицо платкомъ).* Вотъ такъ судъ!

Ребровъ. Должно быть, вы не разъ сходили искупаться.

Почтмейстеръ. Взопрѣлъ! *(садится).* Куды вамъ! И сотой доли въ васъ того нѣтъ, что у этого судьи. И какая память!.. А слова такъ и... *(машетъ рукой)* Моргуновъ!.. Принесите мнѣ папиросочку.

Окуневъ. Господа! Вы слышали, какъ почтмейстеръ изрекъ!

Почмейстеръ. И какой онъ представительный, вѣжливый... Прошу садиться, какъ будто мы всѣ Владиміра имѣемъ... И все въ тактъ. Я было изъ-за рѣшетки сказалъ, когда Егоровъ показывалъ: вретъ! судья сказалъ мнѣ—прошу помолчать.

Смотритель. Новое слово!

Почтмейстеръ *(смотрителю).* Вы, пожалуйста, помолчите... Ну какъ судья сказалъ,—меня кинуло въ жаръ, въ глазахъ немножко мутно сдѣлалось... Немного погодя Филатовъ началъ врать и на меня указалъ, я всталъ и говорю: неправда. А судья, какъ взглянетъ на меня... прошу выйти вонъ!. Я такъ и ротъ разинулъ...

Окуневъ. Проглотили конфетку...

Ребровъ. И ты вышелъ?!

Почтмейстеръ. Поклонился и вышелъ!

Ребровъ *(плюетъ).* Тьфу ты пропасть!

Почтмейстеръ. У него на груди цѣпь, а на бляхѣ написано: законъ... Ну поклонился и вышелъ; постоялъ на крылечкѣ, папироску выкурилъ... Позвали... Всталъ передъ нимъ. «Прошу, говоритъ, разсказать, какъ было дѣло...» Я прокашлялся и разсказалъ, да такъ разсказалъ, что не помню, что и говорилъ-то...

Ребровъ. Скажите, съ какимъ восторгомъ онъ разсказываетъ!

Почтмейстеръ. Непривычка... Если бы я постоянно вращался въ кругу молодежи, я бы не трусилъ. А вотъ лѣкарь: началъ говорить и остановился. Началъ опять сызнова и опять остановился. А я промололъ свою рѣчь, какъ «Отче нашъ»... Публика такъ и помирала со смѣху отъ лѣкаря... Ну и рѣшилъ тутъ же въ одинъ моментъ.

Окуневъ. Какъ же онъ рѣшилъ?

Почтмейстеръ *(Окуневу).* Уже теперь вашихъ возраженій не попросятъ. Рѣшилъ Филатову высидѣть подъ арестомъ двѣ недѣли. Вотъ вамъ и повѣренный.

Ребровъ. Это ужасно.

Окуневъ. На апелляцію.

Смотритель. Такъ и слѣдуетъ.

Почтмейстеръ. Прошу помолчать, потому что тутъ со мной грѣхъ случился. Какъ судья произнесъ свое рѣшеніе, я не утерпѣлъ и сказалъ: по дѣломъ вору и мука... А судья: господинъ Антроповъ, вы подвергаетесь штрафу въ пять рублей за то, что не умѣете вести себя прилично.

Ребровъ. Ну?

Почтмейстеръ. Чего—ну?! присудилъ... Въ двадцать четыре часа долженъ уплатить. Нѣтъ ли у васъ, господа, пяти рублей... Вы только, ради Бога, Аннушкѣ не говорите.

Окуневъ. А ты не плати!

Почтмейстеръ. Нельзя. Ужъ я дорогой сообразилъ, что пословица правду говоритъ—посади свинью за столъ, она и ноги на столъ. Такъ и я, мнѣ говорятъ—вы, прошу садиться, прошу помолчать, а я съ своими сужденіями лѣзу... Выпить надо, господа! Аннушка!

Ребровъ. И ты радуешься такому произволу?.. Вѣдь ты осрамленъ передъ всѣмъ свѣтомъ.

(Входитъ Анна Николаевна и Моргуновъ. Анна Николаевна несетъ пирогъ и тарелки, Моргуновъ графинъ и рюмки, которые и ставятъ на столъ).

Смотритель. Нынче гласность: все въ газеты печатаютъ.

Почтмейстеръ. Ну, что жъ! Пусть,—по крайней мѣрѣ, люди посмѣются. Вѣдь смѣемся же мы надъ другими, пусть и надъ нами хохочутъ, авось мы будемъ догадливѣе.

Окуневъ. За пощечину слѣдуетъ денежное удовлетвореніе!

Почтмейстеръ. Отстаньте. Судья уговариваетъ ихъ помириться, Егоровъ не хочетъ. Я, говоритъ Егоровъ, хочу подвергнуть Филатова уголовной отвѣтственности. Пожалуйте, господа!

(Анна Николаевна и Моргуновъ уходятъ, гости и почтмейстеръ пьютъ и закусываютъ).

Почтмейстеръ. Только вотъ я чего не понимаю. Пришелъ нашъ прежній городничій; грудь увѣшена орденами. Пришелъ и прямо къ судьѣ. А судья: «прошу садиться и подождать». Городничій обидѣлся. «Мнѣ, говоритъ, некогда». А судья: «прошу подождать, когда я кончу это дѣло. Садитесь»... Городничій видитъ, что сидятъ все мужики,—такъ и не сѣлъ. Ну, вызываетъ потомъ судья мѣщанина Иванова; Ивановъ жалуется на то, что ему городничій не заплатилъ денегъ за шитье пальто... Когда кончились спросы, судья приглашаетъ сѣсть того и другого. Городничій обидѣлся. А судья съ него штрафъ!.. *(Пьетъ).*

Ребровъ. Это безчинство!

Смотритель. Нигилизмъ!

Окуневъ. О, до чего мы дожили!

(Каждый по окончаніи своихъ словъ пьетъ).

Почтмейстеръ. И что жъ бы вы думали: какъ судья сказалъ слово «штрафъ», городничій затихъ.

Ребровъ. Да! Теперь хоть живой въ землю ложись...

Почтмейстеръ. Что вы тамъ ни говорите, и какъ мнѣ ни жалко пяти рублей, а надо ска-

зать правду, что этотъ судъ скорый, и теперь ужъ взятокъ не берутъ... Вотъ, напримѣръ, помѣщикъ Кругловъ. При старыхъ судахъ съ нимъ ничего не могли сдѣлать, а теперь рѣшили дѣло въ два мѣсяца, и приставъ уже описалъ у него имѣніе.

Окуневъ. Тутъ все зависитъ отъ краснорѣчія. Если мужикъ не умѣетъ говорить, да его противникъ рѣчистъ, такъ будь мужикъ правъ, его все-таки признаютъ виновнымъ.

Почтмейстеръ. Теперь и вы стали мужиковъ защищать?.. *(Слышенъ звонъ колокольцевъ).* Ну! почта... Вотъ теперь почта стала ходить по три раза въ недѣлю, а жалованья не прибавляютъ... Вотъ я теперь съ каждою почтою жду прогресса для почтовыхъ. А вы, господа, посидите. *(Уходитъ).*

(Смотритель уходитъ. Гости суетятся).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Анна Николаевна, Ребровъ и Окуневъ.

Анна Николаевна. Куда же вы?! Посидите.

Окуневъ. По правдѣ сказать, Анна Николаевна, намъ только у васъ и отрадно, потому что пріятно видѣть, что хоть одно учрежденіе да уцѣлѣло, и Николай Петровичъ на мѣстѣ. А то все новые люди, для которыхъ мы теперь сдѣлались посмѣшищемъ.

Ребровъ. А я все каюсь: отчего я прежде не вышелъ въ отставку?

Окуневъ. Жадность проклятая обуяла! Вѣдь есть у васъ домъ, такъ нѣтъ, еще хотѣли состроить. Вотъ и состроили!

(Анна Николаевна уходитъ. Ребровъ и Окуневъ шепчутся, подмигиваютъ и пьютъ. Моргуновъ приноситъ двѣ газеты).

ЯВЛЕНІЕ X.

Ребровъ и Окуневъ.

Окуневъ *(беретъ газету).* Будемъ отъ нечего дѣлать заниматься политикой.

Ребровъ. Чортъ съ ней и съ политикой, когда тебя ни во что ставятъ, когда всѣ надъ тобой смѣются. *(Читаютъ).*

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣ же и Анна Николаевна съ письмомъ.

Анна Николаевна *(садясь къ двери на стулъ, разрывая письмо. Про себя).* Что-то пишетъ братъ. Нѣтъ ли новостей о Никитинѣ? *(Читаетъ).* Братъ поступаетъ помощникомъ секретаря въ окружной судъ... Боже мой!.. Никитинъ пьяный обругалъ частнаго пристава. Судья приговорилъ Никитина къ аресту на одинъ мѣсяцъ. *(Плачетъ и уходитъ въ комнату).*

ЯВЛЕНІЕ XII.

Ребровъ и Окуневъ.

Ребровъ. Что у насъ?

Окуневъ. Опять новая желѣзная дорога.

Ребровъ. А-а! *(Читаетъ).*

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Тѣ же и Лѣкарь.

Лѣкарь. А! И вы здѣсь! Представьте...

Ребровъ. Мы уже все слышали...

Окуневъ. Помолчите. Видите, мы литературой занимаемся.

Лѣкарь. Нѣтъ, я нахожу, что этотъ судъ слишкомъ либеральный... *(пьетъ).*

Окуневъ. *(Реброву).* Ну, что у насъ?

Лѣкарь. Что теперь и быть-то можетъ: ужъ, кажется, всѣхъ перешерстили. А эти газетныя сплетни и слушать не стоитъ. Я вотъ узналъ о назначеніи къ намъ другого посредника, такъ какъ Фроловъ—мировой судья.

Ребровъ. Ну это насъ не касается.

Окуневъ. Напротивъ, я думаю, что теперь уже пора бы уничтожить посредниковъ, на томъ основаніи, что они ничего не дѣлаютъ, а жалованье получаютъ.

Ребровъ. Нѣтъ, и это меня не касается... А я вотъ поступаю на желѣзную дорогу.

Окуневъ. Кондукторомъ?

Ребровъ. Вовсе не то! Отъ нашего города будетъ строиться желѣзная дорога... Я возьмусь за подряды или пойду въ управляющіе. Читайте! *(отдаетъ газету Окуневу, къ Окуневу подходитъ лѣкарь).*

Лѣкарь. Это ужъ дѣйствительно прогрессъ—отъ нашего города желѣзная дорога... Странно, какъ напали нынче на это занятіе, то-и-дѣло новыя дороги строятъ.

Окуневъ. А мужикамъ ѣсть нечего!

Ребровъ. Опять вы за мужиковъ стоите!.. Это занятіе самое выгодное, потому что отъ каждой версты можно нажить не одну тысячу рублей. Жаль, что у меня мало денегъ, а то и я пошелъ бы въ пайщики.

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Тѣ же, Анна Николаевна и почтмейстеръ.

Почтмейстеръ *(входя съ бумагой и утирая правый глазъ).* Поздравьте, господа! И я теперь съ вами одного поля ягода.

(Всѣ смотрятъ на почтмейстера съ изумленіемъ).

Почтмейстеръ. Да-съ. Прогрессъ и по мнѣ проѣхалъ *(читаетъ бумагу):* «до свѣдѣнія моего дошло, что вы стары и выслужили пенсію, то я предлагаю вамъ выйти въ отставку. Со слѣдующей почтой къ вамъ будетъ командированъ на мѣсто васъ другой чиновникъ. Почему вы предваряетесь о приготовленіи къ сдачѣ ему конторы».

Ребровъ. Какая глупая бумага!

Окуневъ. Это что-то таво-съ!.. Ну, мы еще куда ни шло: развелось много ученыхъ людей, некуда ихъ опредѣлять, вотъ насъ и уничтожили,

завели другіе суды и прочее. А почта—я не понимаю; въ ней учености не нужно. Надо жаловаться, Николай Петровичъ.

Почтмейстеръ *(пьетъ)*. Что жъ — пусть! я другимъ не стану мѣшать *(смотритъ на столъ съ принадлежностями къ лодкѣ и качаетъ головой)*. А вотъ васъ-то я и не кончилъ... Ахъ! я какую-то повѣстку получилъ по дѣлу Гуляевой.

Лѣкарь. Несчастная женщина! Но я все-таки не думаю, чтобы она могла покуситься на жизнь мужа.

Почтмейстеръ. Мнѣ приставъ сказалъ, что черезъ недѣлю окружной судъ будетъ въ нашемъ городѣ *(вынимаетъ изъ кармана сюртука повѣстку)*.

Ребровъ. Непремѣнно пойду!

Окуневъ. А я непремѣнно долженъ буду итти—имѣю повѣстку.

Ребровъ. А-а! Попались... Вѣдь вы ухаживали за ней!.. Непремѣнно скажу вашей супругѣ.

Почтмейстеръ. *(прочитавъ бумагу, садится въ изнеможеніи на стулъ)*.

Анна Николаевна. Что съ вами, папаша?

Окуневъ *(почтмейстеру)*. И васъ тоже зовутъ въ свидѣтели! Вѣдь вы таво... Старый вы грѣшникъ!

Почтмейстеръ. Уйди, Аннушка...

Ребровъ. Въ тихомъ-то омутѣ и водятся черти, Анна Николаевна.

Почтмейстеръ. Молчите, пожалуйста.... Все бы это ничего, кабы прежде, а теперь вѣдь въ самомъ окружномъ судѣ придется присягу принимать и говорить при публикѣ.

Лѣкарь. А публики, я думаю, много будетъ: весь городъ пойдетъ слушать это дѣло... Вотъ что, Николай Петровичъ... Я получилъ мѣсто въ земствѣ... Я предлагаю руку и сердце Аннѣ Николаевнѣ.

Почтмейстеръ *(встаетъ)*. Что вы пришли смѣяться надо мной что ли? Что я, по-вашему, пѣшка что ли какая?

Анна Николаевна *(плачетъ и кидается отцу на шею)*. Папаша... Если нужно, я сдѣлаю все, что вы прикажете.

Почтмейстеръ *(лѣкарю)*. Кто вамъ сказалъ, что я отдамъ за васъ мою дочь! Вы нашимъ и вашимъ служите... И хотя Никитинъ сидитъ теперь въ острогѣ, а я все-таки считаю его честнѣе васъ въ тысячу разъ.

Лѣкарь. Очень вамъ благодаренъ! *(уходитъ)*.

Окуневъ *(трепля по плечу почтмейстера)*. Ну, не сердись, Николай Петровичъ. Полно, любезнѣйшій... Повѣрь, что мы, твои товарищи, теперь тебя еще крѣпче уважаемъ... А что это дѣло, такъ положись на меня, бывшаго крючкотвора: я тебя не выдамъ, и ты меня не выдай... Мы имъ покажемъ, что хоть мы и стары и не красивы, зато ума у нихъ не займемъ.

(Почтмейстеръ сперва строго, потомъ съ улыбкой смотритъ на Окунева; Ребровъ, улыбаясь, держитъ въ рукѣ рюмку; Анна Николаевна плачетъ; Моргуновъ въ дверяхъ стоитъ съ угрожающимъ видомъ и сжатыми кулаками.

Занавѣсъ падаетъ.

Въ омутѣ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Павелъ Тимоѳеевичъ Судейкинъ—45 л. Въ первомъ дѣйствіи—чиновникъ губернскаго правленія, въ остальныхъ—засѣдатель уѣзднаго суда въ дореформенномъ уѣздномъ городѣ.

Мареа Павловна—его жена, молодая еще и красивая женщина, лѣтъ 32.

Ольга—дочь Судейкина отъ перваго брака 19 лѣтъ. Училась въ губернскомъ пансіонѣ; любитъ читать.

Коля—сынъ Судейкина отъ второго брака, лѣтъ 9.

Карташевъ — молодой чиновникъ особыхъ порученій у губернатора. Изъ университетскихъ.

Михайловъ—юноша изъ семинаристовъ, лѣтъ 20, пробивается въ уѣздномъ городѣ переписчикомъ, службой въ почтовой конторѣ. Родственникъ почтмейстера. Пописываетъ стихи и корреспонденціи въ газеты.

Карпъ Егоровичъ Навалихинъ—уѣздный судья.

Чуроховъ—правая рука судьи. Молодой человѣкъ, лѣтъ 25. Уѣздный франтъ. Носитъ длинные волосы. Выписываетъ газеты.

Запесошный—секретарь суда. Лѣтъ 50. Хромой и рыжій. Лицо красное, съ признакомъ злоупотребленія спиртными напитками. Неряшливъ. Говоритъ заикаясь.

Дороѳеевъ—бургомистръ изъ купцовъ. Малограмотенъ. Толстый. Носитъ бороду и длинные волосы, по-русски. Лѣтъ 50.

Тетеринъ—почтмейстеръ, лѣтъ 40.

Зиминъ—засѣдатель, лѣтъ 25.

Городничій, стряпчій, архиваріусъ, и ихъ жены.

Артемій—кучеръ Судейкина.

Сторожа.

Дѣйствіе происходитъ во времена дореформенныя, въ одной изъ отдаленныхъ губерній. Первое дѣйствіе въ губернскомъ городѣ; остальныя—въ уѣздномъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Небольшая, порядочно убранная комната, обитая обоями желтаго цвѣта. Налѣво дверь въ кабинетъ Судейкина. Въ углу столъ. Впереди дверь въ другія комнаты, направо два окна на улицу. На окнахъ по двѣ банки съ цвѣтами. У стѣнъ стулья. Между дверями налѣво и дверями впереди диванъ, обитый краснымъ бараканомъ; передъ нимъ столъ съ бумагами, книгами, чернильницей съ перьями и кисетъ съ табакомъ; возлѣ стола стоитъ чубукъ съ трубкой. На диванѣ сидитъ Судейкинъ; онъ въ халатѣ, сильно задумался, въ рукѣ перо. Передъ нимъ лежитъ большое «дѣло» и тетрадь. По лѣвую сторону его сидитъ на стулѣ Мареа Павловна, въ ситцевомъ зеленаго цвѣта платьѣ. Она сидитъ важно, навалившись на спинку стула и перебирая томъ свода законовъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Судейкинъ и Мареа Павловна.

Мар. Павл. *(смотря на Судейкина)*. Молчитъ! Что это такое въ самомъ дѣлѣ съ тобой... Ну, что ты написалъ?

Суд. *(очнувшись)*. Что-съ?

Мар. Павл. (*бросая книгу на диванъ*). Фу, Боже мой! Я, вѣдь, спрашиваю, кажется, тебя, а ты мнѣ же вопросъ задаешь: «что-съ»?

Суд. (*будто не понимая*). Что-съ?

Мар. Павл. (*съ сердцемъ*). Тьфу, досада! Вѣдь, вотъ какой гадкій человѣкъ: затвердилъ одно и то же... и поди съ нимъ!.. Ну, посмотрите добрые люди на него! Сидитъ, какъ полоумный и на меня смотритъ... Скажите мнѣ, пожалуйста, ваше благородіе, узоры что ли вы съ меня снимаете?

Суд. (*бросаетъ перо*). Нѣтъ! я... да я разстроенъ!..

Мар. Павл. Разстроенъ! Скажите пожалуйста!.. Эдакой право чувствительный. Ужъ не мной ли вы, сударь, разстроены-то?

Суд. Гм!.. (*смѣется*).

Мар. Павл. Вамъ смѣшно!.. Ахъ, Боже мой! Скоро девять часовъ, пора кончать докладъ и итти на службу, а онъ вотъ полчаса ужъ сидитъ, не написавши строчки... Сидитъ, задумавшись, перо держитъ, а ничего не выдумаетъ. Вотъ мой дяденька, какъ сядетъ писать, такъ все и пишетъ, только къ верху взглянетъ, да въ законъ посмотритъ, пишетъ, пишетъ, не устаетъ, хоть часовъ пять просидитъ, а онъ вотъ глядите, добрые люди!.. Меланхольный будто. А пожалуй, если кто увидитъ его въ такомъ положеніи, подумаетъ: эдакой ученый! Вотъ трудовъ-то, поди, необерется... А въ самомъ-то дѣлѣ онъ выходитъ болванъ болваномъ...

Суд. (*набиваетъ трубку табакомъ и раскуриваетъ*). Оставьте ради Бога меня въ покоѣ. Вы мнѣ мѣшаете... Я вамъ не десять, сотню разъ говорилъ... Ну?

Мар. Павл. Вотъ разодолжилъ!.. Прекрасно... Позвольте васъ спросить, вы кончили?

Суд. Что?

Мар. Павл. Докладъ.

Суд. Разумѣется.

Мар. Павл. И не спросились меня!.. Ну какъ вамъ не стыдно, Павелъ Тимоѳеевичъ! (*съ сердцемъ*). Я вамъ приказывала всегда, спросившись меня, кончать доклады, о которыхъ я прошу. А вы меня не хотите слушать! Меня, которая одна васъ жизни учитъ, безъ которой вы бы были простымъ чиновничишкомъ, или бы васъ прогнали за вашу дурь...

Суд. (*про себя*). Опять заколесила! (*Марѳѣ Павловнѣ*) Я васъ не понимаю.

Мар. Павл. Неблагодарный! Такъ-то ты уважаешь меня, цѣнишь мою любовь!.. Не я ли старалась о тебѣ, хлопотала, билась, какъ угорѣлая... Просила дядюшку своего, совѣтника правленскаго... Черезъ кого ты попалъ въ столоначальники въ палату? Черезъ кого былъ столоначальникомъ въ губернскомъ правленіи? Черезъ кого ты вылѣзъ изъ бѣды, когда поссорился съ ассесоромъ? Черезъ кого попалъ въ секретари палаты и теперь переводишься въ уѣздные засѣдатели?.. Да вы бы во всемъ должны мнѣ повиноваться и уважать моего дядюшку. Поймите, что вы черезъ меня навѣрное судьей будете, а послѣ и совѣтника добьетесь. А вы все говорите: «я васъ не понимаю, несогласенъ»... Стыдились бы и говорить такія слова...

Суд. Марѳа Павловна, не горячись пожалуйста! Мнѣ право обидно, что ты разсуждаешь со мной, какъ съ чужимъ, крѣпостнымъ. Я, кажется, вамъ мужъ. Конечно, я самъ виноватъ, что раньше отдался весь въ ваше распоряженіе. Будь я тверже характеромъ, вы бы не командовали мной, какъ солдатомъ.

Мар. Павл. (*всплеснувъ руками*). Хорошъ муженекъ!..

Суд. Марѳа Павловна, неужели вы не видите, что я васъ люблю. Повѣрь, другъ мой, что ты мнѣ дороже всего на свѣтѣ. Но согласись, любви есть мѣра: ты требуешь невозможнаго, рискуешь моей судьбой. Пойми, пожалуйста, что служба вещь большая. Мы рабы службы. Служащіе живутъ двумя жизнями: служебной, гдѣ на каждомъ шагу подчиненіе, униженіе и рабство, исполненіе обязанностей и больше всего законъ,— и домашней, гдѣ семейныя радости, утѣшеніе, отдыхъ, ласки женщины, любимой Марѳы Павловны... Я васъ во всемъ уважаю, но въ службѣ прошу меня не безпокоить. Это я вамъ давно говорилъ... Въ дѣлахъ, я увѣренъ, больше васъ знаю, а вы пристаете со своими мнѣніями, со статьями закона, который читали пять лѣтъ у своего дядюшки, и ничего не знаете. Да и нигдѣ не видано, чтобы женщины вмѣшивались въ служебныя дѣла мужа, рѣшали участь несчастныхъ, разрѣшали судьбу и права человѣка. Вѣдь, ты не Екатерина... Я тебѣ скажу всегда, что ты въ дѣлахъ ничего не смыслишь и меня не перехитришь. Я семь лѣтъ былъ писцомъ, да одиннадцать столоначальникомъ въ палатѣ... Знаю, поди, что-нибудь. Давно бы я былъ безъ тебя уже судьей, да подъ судомъ два раза былъ, да и два дѣла теперь еще не кончено.

Мар. Павл. Все-таки не я виновата, я же помогла тебѣ быть засѣдателемъ. Безъ меня ты бы погибъ. Вотъ недавно совсѣмъ было попалъ подъ судъ, да я вытащила...

Суд. Съ тобой двадцать разъ въ годъ попадешь подъ судъ... Хороши больно твои совѣты (*пишетъ*). Все, что я ни писалъ со словъ твоихъ, все не сходило съ рукъ; вѣдь, мы грѣшили съ тобой.

Мар. Павл. Эдакой святой!

Суд. Извольте отправляться! (*пишетъ*).

Мар. Павл. (*про себя*). Вотъ-те разъ! Что это такое значитъ? Онъ у меня совсѣмъ изъ повиновенія вышелъ. Всегда, когда нужно мнѣ, онъ рѣшалъ дѣла по-моему, я еще вчера его просила рѣшить дѣло это по-моему, онъ сказалъ: «подумаю», а сегодня отказываетъ. Пожалуй, онъ рѣшилъ по закону. А я-то что скажу? Семеновъ далъ мнѣ денегъ. Самъ не смѣлъ его просить... А я ничего не сдѣлаю?.. Стыдъ моей головушкѣ! Но я его урезоню. Я немножко лишняго наговорила, его симпатію задѣла. Ничего, согласится. (*Судейкину*) Паша, нельзя ли узнать твое заключеніе по дѣлу?

Суд. Для чего?

Мар. Павл. У меня есть просьба до тебя... Помнишь, о чемъ я тебя вчера просила?

Суд. Такъ было прежде, а теперь я рѣшилъ окончательно никогда не слушать вашихъ совѣтовъ, и рѣшу это дѣло по законамъ.

Мар. Павл. (*подходя къ нему, ласкаясь*). Но... Паша... я прошу... прошу для нашей же пользы.. Припомни Звонарева...

Суд. Ну, что жъ?

Мар. Павл. А то, что если ты послушаешь меня, то получишь на дорогу.

Суд. (*вставая, съ сердцемъ*). Да дай рѣшить мнѣ по закону! Вѣдь, это послѣднее дѣло, которое я рѣшаю...

Мар. Павл. Да ты рѣши, какъ я прошу; а тамъ, какъ хотятъ. Рѣшать по закону тебѣ еще много предстоитъ впереди.

Суд. Оставь меня въ покоѣ! Я тебѣ сказалъ.

Мар. Павл. (*нѣжно*) Ты какое хочешь сдѣлать заключеніе?

Суд. (*садясь*). Ершову домъ отдать, а Семенову отказать.

Мар. Павл. Какъ строго!

Суд. Законъ—нельзя.

Мар. Павл. Ну еще что?

Суд. Взыскать съ Семенова за гербовую бумагу, деньги за время владѣнія домомъ, рублей около двухсотъ. Въ дѣлѣ есть всѣ факты, и Ершовъ прямой наслѣдникъ.

Мар. Павл. И это все хочешь сдѣлать ты?

Суд. (*гордо*). Не я—законъ!

Мар. Павл. (*ласково*). Паша, да какъ-нибудь иначе!.. Семеновъ-то, вѣдь, родственникъ мнѣ.

Суд. Мнѣ все равно.

Мар. Павл. Въ тебѣ, право, черствое сердце. Весь ты пропитанъ зломъ... Паша?

Суд. (*выходитъ изъ терпѣнья*). Что вамъ нужно?

Мар. Павл. Неужели для меня, которая такъ тебя любитъ, ты готовъ всю родню мою обидѣть и погубить.

Суд. Конечно!

Мар. Павл. (*садясь возлѣ него, беря его за руку*). Паша! какой ты, право, жестокій! Ну, пощади Семенова...

Суд. Да ты мнѣ скажи, какъ онъ тебѣ будетъ родственникъ, да за одно ужъ и про дѣло. Вѣдь, ты знаешь, коли онъ тебѣ родня, все объ ихнемъ домѣ (*куритъ*).

Мар. Павл. Изволь. Въ двадцатыхъ годахъ въ уѣздномъ городѣ Н., жилъ мѣщанинъ, человѣкъ зажиточный, торговалъ мясомъ и саломъ. Онъ былъ холостъ. Сестрица сродной тетушки моей, Анфисы Павловны, Агнеса Капитоновна, жившая тамъ съ мужемъ, чиновникомъ уѣзнаго суда, и влюбись въ этого мѣщанина. Конечно, это глупо и неловко для нашей родни. Но любовь!.. Какъ мужъ умеръ отъ чахотки, она и вышла за Семенова.

Суд. Хороша родня десятаго колѣна!.. Ха, ха, ха!.. Ну, а дѣло-то?

Мар. Павл. Вчера, какъ ты ушелъ, утромъ въ палату, сынъ Семенова былъ у меня. Это красивый парень, здоровый, конечно, безъ образованія. Въ уѣздномъ городѣ гдѣ образоваться! Когда у насъ мѣщане не образовываются, а тамъ и подавно. Я, говоритъ, вашъ родственникъ. У меня, говоритъ, есть дѣло, дѣло это правое...

Суд. Вотъ и врешь.

Мар. Павл. Вотъ слушай, что онъ разсказалъ. Отецъ его покойный у мѣщанина Ершова домъ купилъ. Домъ славный, съ садомъ еще, тамъ стоитъ рублей 3000 на серебро, а здѣсь бы стоилъ 9000 р. Только домъ купленъ безъ всякихъ актовъ. Въ дѣлѣ нѣтъ ни документовъ, ни росписки отъ Семенова, а у Ершовыхъ по какому-то случаю оказалась и купчая крѣпость. Во время покупки дома у Ершовыхъ было двое дѣтей, и онъ самъ по продажѣ дома уѣхалъ въ другой городъ. А по смерти его, годовъ черезъ 7, мать Ершовыхъ наслѣдниковъ нашла въ ящикѣ документъ на домъ, а дѣтямъ сказала, что Семеновъ домомъ владѣетъ неправильно. Ершовыхъ мать подала просьбу, вотъ и завязалось дѣло. Конечно, Семеновъ въ судѣ ничего не взялъ и подалъ въ палату.

Суд. И палата откажетъ. Напрасно подавалъ.

Мар. Павл. Ты видишь, Семеновъ не виноватъ. Зачѣмъ же все на него?.. Онъ меня просилъ, чтобы я попросила тебя. Онъ мнѣ еще далъ для передачи тебѣ сто рублей...

Суд. (*вставая*). И ты взяла?

Мар. Павл. Что же! Даютъ, такъ отчего не брать.

Суд. И тебѣ не стыдно?

Мар. Павл. Чего жъ стыдиться? Коли мужъ беретъ, такъ отчего не брать женѣ?

Суд. Браво! Глупо!.. Подло! Вотъ до чего мы дожили!.. Ужъ жены стали брать взятки...

Мар. Павл. Смѣйся, смѣйся, а сто рублей не шутка.

Суд. Конечно, для того, кто не знаетъ стыда и совѣсти.

Мар. Павл. У тебя, Паша, давно ихъ нѣтъ. Ну, что же? Вотъ и деньги, возьми! (*кладетъ на столъ*). Ну, что же? Вѣдь, сто рублей!..

Судейкинъ. (*про себя*). Что дѣлать? Сто рублей... На дорогу... На обзаведеніе?.. Послѣднее дѣло рѣшаю... (*Марѳѣ Павловнѣ*) Нельзя.

Мар. Павл. Ну, заладилъ: нельзя да нельзя. Не мучь, пожалуйста, меня. Я цѣлыхъ два часа жду твоего согласія, предлагаю деньги. Ну, какъ же?

Суд. (*про себя*). Честь давно ужъ продана. Вѣдь, не узнаютъ. Возьму, напишу какъ-нибудь. Я не виноватъ, она... А тамъ не буду...

Мар. Павл. Вотъ еще 50. Извини, что не всѣ сразу показала. Онъ далъ 150, а больше, говоритъ, нѣтъ.

Суд. Марѳа Павловна! Я ужъ говорилъ тебѣ, какой грѣхъ и что ожидаетъ меня за это. Я ужъ клялся не брать больше.

Мар. Павл. (*смѣясь*). Еще возьми, а больше не бери...

Суд. Такъ, такъ... но? Нарушить законъ!

Мар. Павл. Какой ты несговорный. Оттого-то ты и бѣденъ. Ну, съ чѣмъ ты поѣдешь въ

уѣздъ?... Вообрази свое положеніе. Ты тамъ не бери, а теперь, зачѣмъ отказываться? Вѣдь, написать не долго, а тамъ какъ хотятъ.

Суд. Написать, такъ надо подать въ присутствіе, а подалъ, такъ и утвердятъ.

Мар. Павл. А чѣмъ скорѣе, тѣмъ и лучше.

Суд. Но, Мареа Павловна... Вѣдь, за это подъ судъ можно попасть.

Мар. Павл. Съ чего ты взялъ?.. *(развертываетъ бумаги, книги и даетъ перо Судейкину)*: Ну, пиши скорѣе.

Суд. *(Молча садится и пишетъ).*

Мар. Павл. Ты что пишешь?

Суд. Отказъ Семенову.

Мар. Павл. Паша! Пиши, на основаніи 2319 ст. Ершову отказать, такъ какъ онъ ничѣмъ не доказалъ.

Суд. Не доказалъ... доказалъ... Ну, да что съ тобой дѣлать! *(пишетъ. Про себя)!* О, я... вотъ что сдѣлаю. Пусть ее говоритъ! Напишу, а деньги у меня. Сегодня Семеновъ будетъ въ палатѣ, отдамъ ему. Нѣтъ, матушка, будетъ командовать надо мной... Деньги! Вотъ онѣ-то и губятъ насъ.

Мар. Павл. Будетъ вамъ умствовать, пишите, ваше благородіе, по 529 ст., Ершовъ долженъ заплатить Семенову...

Суд. Чтобы пополнить ту сумму, что далъ вамъ? Вотъ какъ! *(смотритъ въ книгу).* Какъ глупо. Прочитай и сообрази.

Мар. Павл. А что!

Суд. Читай, читай.

Мар. Павл. *(прочитавъ).* Ошиблась, не ту сказала. *(Диктуетъ).* Такъ какъ Ершовъ умеръ, то взысканіе за не гербовую бумагу и за все обратить съ его жены или дѣтей.

Суд. Вы сообразите, что говорите!

Мар. Павл. Да у ней имѣнія сколько осталось!

Суд. Хоть бы милліонъ, такъ намъ какое дѣло. Вы забыли. Вотъ вамъ 111 и 114 ст.: жена за мужа долговъ не платитъ.

Мар. Павл. Жаль! Ну, Паша, ты кончай въ пользу Семенова. Надѣюсь, кончишь, а я пойду приготовлять чай *(поцѣловавъ его, уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ II.

Судейкинъ одинъ.

Суд. Господи Боже мой, до чего я дожилъ! Жена! Прежде хороша она была мнѣ, а теперь я понялъ, что скверно, гадко. Прежде, бывало, дадутъ 5, 10 рублей, и то ладно. Тогда я сильно пилъ; а если бы не пилъ, можно было накопить денегъ, построить домъ, я бы былъ давно ассесоромъ. А то теперь вотъ и живу въ жениномъ домѣ. Что это, право, за жена у меня. Она у своего дядюшки все должно быть законы читала. Вотъ и думаетъ, что много знаетъ. Придетъ ко мнѣ проситель, она напередъ съ нимъ обдѣлаетъ дѣло, потомъ проситъ меня, даетъ денегъ и велитъ писать, какъ ей вздумается, и воображаетъ, что я дѣлаю по ея волѣ... Наконецъ, какъ я попалъ подъ судъ по двумъ дѣламъ, я сообразилъ, понялъ, что я дѣлаю скверно, что я все-таки знаю больше жены. Еще бы!.. Я и рѣшился не слушать ея; а она на зло снова и снова... Соблазняетъ, даетъ сотни, ну и не утерпишь. Вотъ вамъ будущій засѣдатель; ну какой я засѣдатель?..

ЯВЛЕНІЕ III.

Мареа Павловна (приноситъ большой фарфоровый стаканъ и бѣлаго хлѣба и уходитъ).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Судейкинъ одинъ.

Суд. Ну, нѣтъ, я рѣшился теперь не поддаваться ей. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, это чортъ знаетъ, что такое! Ершову дома не отдать, когда документы есть у него... А въ уѣздномъ судѣ, клянусь, не брать больше... ни, ни, ни!

ЯВЛЕНІЕ V.

Ольга и Судейкинъ.

Ольга (*въ ситцевомъ платьѣ*).

Ольга (*входя*). Папаша!

Суд. Что, Олечка?

Ольга. Папа, я слышала... вашъ разговоръ съ мамашей.

Суд. Ну, а тебѣ какое дѣло?

Ольга (*обнимая Судейкина и цѣлуя*). Папаша! Милый папа! Не вы ли, давно когда-то, говорили быть мнѣ честной, не брать примѣръ съ мамаши? Не вы ли клялись когда-то давно быть честнымъ, не брать подарковъ или взятокъ? Не вы ли довѣряли мнѣ ваши тайны, съ любовью жаловались на мамашу и просили не покидать васъ совѣтами? И что же? Сегодня васъ обманула мамаша, говоря, что Семеновъ ей родственникъ. Не вѣрьте, нисколько... Вы взяли деньги... Папа! Для того ли вы воспитали меня, чтобы всѣ говорили: вотъ, училась въ пансіонѣ, а отецъ взяточникъ?..

Суд. Будетъ, будетъ Ольга! Я все знаю... все...

Ольга. Простите папа, я васъ предостерегаю. Вѣдь надъ вами засмѣются, отдадутъ подъ судъ...

Суд. Отдадутъ.

Ольга. А какъ это хорошо, вообразите, подъ судомъ, безъ мѣста, никому глаза нельзя будетъ показать (*плачетъ*).

Суд. Такъ, Ольга... Я это знаю, но боюсь...

Ольга. Кого?

Суд. Жены. Черезъ нее я получилъ мѣсто засѣдателя.

Ольга. О, папа!.. На это не разсчитывайте. Будьте честны, все будетъ хорошо. Вы получите не то.

Суд. Наша родня вся такая. Мы бѣдны. Вѣдь ты у меня на рукахъ, да Коля.

Ольга (*плачетъ*). Папаша! Я готова сама на рѣку ходить, сама бѣлье стирать, только бы жить съ вами и радоваться, что вы честны, добры. Мнѣ ничего не надо...

Суд. (*цѣлуя Ольгу*). Ольга! Ты рѣдкая дѣвушка; съ такимъ сердцемъ и душой у насъ въ городѣ не найдешь. Я всегда тебя слушалъ, любилъ и люблю теперь. Я болѣе всего тебя люблю. Я прежде клялся быть честнымъ, и теперь клянусь...

Ольга. И опять напрасно.

Суд. Нѣтъ, Оля! Я твердо клянусь никогда не брать и, заикнись жена, я прогоню ее... Слышишь! Я вытолкаю ее... Деньги я взялъ отъ жены, но въ судѣ я отдамъ ихъ самъ Семенову.

Ольга. Вотъ и прекрасно...

Суд. Вотъ моя рука (*даетъ ей правую руку*).

Ольга. (*цѣлуя руку*). Благодарю. (*Судейкинъ уходитъ въ кабинетъ. Ольга уноситъ въ комнаты стаканъ. Судейкинъ выходитъ, одѣтый въ сюртукъ, и уноситъ въ портфелѣ дѣло*).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Ольга (одна, перебираетъ вещи).

Въ послѣдній разъ, можетъ быть, я перебираю этотъ хламъ!.. Въ послѣдній разъ! Завтра станемъ сбираться въ дорогу, уѣдемъ... Бѣдный мой папа! Какъ ты добръ, какъ простъ. Его надо все уговаривать, убѣждать, чтобы онъ не вдался въ ошибку, въ обманъ, отъ которыхъ вся наша жизнь зависитъ... Господи Боже мой! Какъ подумаешь, сколько есть такихъ людей на свѣтѣ, сколько доброты въ нихъ, чести, совѣсти, но отчего это въ нихъ и честь, и совѣсть подавляются при первомъ случаѣ—когда имъ даютъ? Неужели въ самомъ началѣ своей службы онъ былъ таковъ? Не знаю, но можетъ быть. Оттого вѣрно, что онъ былъ бѣденъ, все это было ничего. Онъ научился брать и бралъ. Бралъ и тратилъ, и снова бралъ... Казалось бы, онъ не можетъ бросить этого. Но онъ еще не подавилъ свою совѣсть, у него есть стыдъ. Не будь мамаши, онъ бы вовсе не бралъ, но она такъ умѣетъ имъ владѣть, что онъ всегда соглашается на ея просьбы. Вотъ хоть бы сегодня: вѣдь, ужъ клялся, что никогда не возьметъ и будетъ дѣлать по закону—нѣтъ! Все эта охота къ деньгамъ. Быть можетъ, онъ и не клялся бы не брать, но какъ попался подъ судъ по двумъ дѣламъ, онъ понялъ, что это противъ совѣсти, я его урезонивала, и онъ дѣлался добрымъ человѣкомъ. Но его не любили въ палатѣ, называли лицемѣромъ. Да и правда, онъ изрѣдка, по просьбѣ мамаши, все-таки бралъ... Неужели послѣ клятвы мнѣ сегодня, онъ все еще будетъ таковъ? Вѣдь вотъ какая страсть, привычка. Нѣтъ, я буду стараться, чтобы съ нимъ этого не было... Я радуюсь, что онъ исправляется на старости лѣтъ... Какъ неловко становится, если онъ возьметъ: онъ губитъ человѣка. Вотъ чего мнѣ страшно. Въ его рукахъ участь—судьба человѣка, и онъ ее губитъ за деньги, по прихоти женщины... Я читала объ этомъ много книгъ, и какъ досадно: что осуждается въ книгахъ, есть наяву, и гдѣ же? — въ родномъ домѣ (*садится и задумывается*). Неужели этого не понимаютъ тѣ, про кого пишутъ? Имъ даже не досадно, ихъ ничто не шевелитъ. Всѣ служащіе въ нашемъ городѣ въ палатахъ и судѣ пропитаны этими взятками. Они такъ и норовятъ взять съ кого-нибудь. Бывала я на именинахъ у многихъ служащихъ нашихъ изъ палаты, бывали и они у насъ: всѣ они, и молодые, и старики жалуются: доходовъ мало!.. Въ собраніи видишь гордость, чопорность. Наряды такъ и говорятъ: доходы! Въ нихъ нѣтъ вовсе совѣсти... Иные и кажутся честными, а берутъ. О! уѣхать надо отсюда. Мнѣ, право, какъ-то горько смотрѣть на нашихъ чиновниковъ, на ихъ постныя, скучныя лица, на которыхъ каждый день одна и та же мысль, чѣмъ жить, доходовъ мало!.. Уѣдемъ, отдохнемъ въ уѣздѣ, тамъ лучше здѣшняго живутъ. Господи! и тамъ не лучше, и тамъ еще хуже. Тамъ не ждутъ уже подарка, а сами просятъ!.. Тамъ всѣ до одного, всѣ такіе!.. И мы ѣдемъ туда. Мачеха не даромъ исхлопотала мѣсто у дядюшки: знаетъ, что ей тамъ будетъ пожива. Нѣтъ, мамаша, не бывать этому! Пусть хоть одинъ, да будетъ честенъ. А тяжело уѣзжать отсюда! Я такъ привыкла къ нашему городу, что не знаю, какъ и привыкать будетъ къ уѣздному. Хоть и надоѣло здѣсь, и хочется уѣхать, а тамъ будетъ скучно, ужасно скучно. Куда пойдешь? Здѣсь все какъ-то по-губернски, а тамъ... Тамъ все грубѣе, необразованнѣе... Одно удовольствіе, что лѣтомъ сходишь раза три по грибы, пройдешься вечеромъ по улицѣ, и только. Хорошо, если найдешь себѣ подругу... А то читай книги, да и тѣхъ негдѣ взять. Тамъ всѣ тебя узнаютъ съ перваго раза, и сдѣлай только что-нибудь, всякъ узнаетъ. Подъ вечерокъ сидятъ домохозяева и жильцы у воротъ и ведутъ дружескій разговоръ... Пройди ты, они указываютъ на тебя пальцемъ и смѣются. Что дѣлать, надо жить, привыкать... А мнѣ не хочется ѣхать! Такъ бы и осталась здѣсь. Я люблю Карташева и онъ любитъ меня, и какъ скучаетъ, что я ѣду!.. Пожалуй, полюбитъ кого... Вѣдь въ собраніи часто влюбляются то въ ту, то въ другую дѣвушку. Нѣтъ, онъ не таковъ. Онъ любитъ меня... Мнѣ нельзя не ѣхать съ папашей. Безъ меня онъ опять примется за старое... Мамаша не будетъ давать ему покоя. Ну, а при мнѣ не то будетъ. Я давно замѣчаю, что онъ перемѣняется. Въ первый разъ онъ раскаялся, когда попалъ подъ судъ, потомъ я дала ему одну книгу, онъ прочиталъ и сказалъ: все про взятки толкуютъ; ихъ не вывести. Я урезонила его и онъ опять поклялся, сталъ почитывать изрѣдка книги... А теперь не можетъ жить безъ того, чтобы не читать. И кажется, что въ немъ пробудились новыя силы. О, далъ бы Богъ ему совсѣмъ пробудиться, какъ бы я была счастлива...

(*Голосъ изъ комнаты Марѳы Павловны*) Оля, а Оля?

Ольга (*идетъ въ двери. Отворивъ дверь*). Что, мамаша?

Голосъ Мар. Павл. Смотрѣла ли ты пирогъ въ печи?

Ольга. Забыла, маменька (*уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ VII.

Мареа Павловна (входя въ шляпкѣ. Ольга).

Мар. Павл. Такъ и есть. Вѣчно балясы точитъ! Ну и дѣвка! (*подходя къ окну*). Вотъ и цвѣты не политы! Экая, вѣдь, подумаешь, беззаботная. Охъ вы, цвѣты мои! Какъ-то я васъ увезу! Вотъ черняйку-то еще можно — котъ славный, на завидность будетъ, нужды нѣтъ, что уши обморозилъ. Діанку тоже увеземъ, а цвѣты не знаю. Жасминъ три года росъ, пять рублей стоитъ. Бѣда, мученье съ переѣздкой! Куда дѣвать горшки, подушки, ухваты. Все надо везти... Ну, какъ-нибудь... Ничего, увеземъ. 150 рублей, вѣдь, отдала мужу... Какой, право, неблагодарный: деньги съ неба валятся, а онъ толкуетъ о какой-то чести, совѣсти. Чувствительность какую-то нашелъ!.. Все надо показать, учить. О, эти приказные! Когда имъ не даютъ ничего, они все твердятъ: нельзя, законъ, а далъ, и съежится «извольте-съ»... Всѣ они такіе. Я уже насмотрѣлась на дяденьку. Умница, умница такой; весь законъ какъ знаетъ... Два дома нажилъ. Скверно, въ карты проигрываетъ много. А мой мужъ не знаю, на кого похожъ. Ну да я его образую!.. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Судейкинъ и Ольга. (Судейкинъ входитъ въ шляпѣ и сюртукѣ).

Суд. Слава Богу, все покончилъ. Вотъ и подорожная.

Ольга. А дѣла какъ?

Суд. Передалъ въ столъ по описи.

Ольга. Деньги не отдали?

Суд. Отдалъ Семенову и сказалъ: «братецъ, я ѣду, вотъ твои деньги. Много ли ты давалъ?» — «150».—«Ну возьми ихъ и не смѣй впередъ предлагать. Ты моли Бога, что я не объявилъ объ этомъ въ полицію. Дѣло бы завязалось. Ну и не велѣлъ приходить ко мнѣ. Въ полицію, говорю, упрячу. Это я все сдѣлалъ въ коридорѣ. Пусть какъ хотятъ, такъ и дѣлаютъ.

Ольга. Вотъ и прекрасно сдѣлали, папа! О, какъ я теперь рада! Папа, какъ я буду счастлива, если такъ вы будете поступать всегда.

Суд. Будь покойна. Право, Ольга, какъ-то веселѣе и спокойнѣе теперь, какъ я отдалъ обратно деньги. Я радъ чему-то.

Ольга. Всегда будете такъ радоваться. Вѣдь, только трудно сдѣлаться честнымъ, а тамъ—блаженство, папа!

Суд. Такъ оно. Но что я скажу Мареѣ Павловнѣ, какъ она спроситъ?

Ольга. Скажите—потерялъ.

Суд. Неловко.

Ольга. Ну, долги старые выплатилъ. Нельзя же отъ долговъ уѣзжать.

ЯВЛЕНІЕ IX,

Тѣ же и Марья Павловна.

Мар. Павл. Ну, что, мой другъ?

Суд. Все хорошо, во-первыхъ: дѣла сдалъ исправно. Получилъ подорожную на три лошади, завтра получу прогонныя деньги. Во-вторыхъ, дѣло Семенова подалъ въ присутствіе—пусть дѣлаютъ, какъ хотятъ.

Мар. Павл. Ты бы попросилъ?

Суд. Просить неловко. Догадаются! Вѣдь, и то мы затѣяли тамъ, чортъ знаетъ, что такое.

Мар. Павл. Ну и прекрасно, лишь бы дѣло съ нашей стороны было обдѣлано.

Суд. А тамъ хоть что хочешь дѣлай, денежки взяты, уликъ нѣтъ. Эхъ ты... душа моя. (*Беретъ ее за руку*). Ну, Мареа Павловна, позволь тебя поблагодарить за протекцію! (*Цѣлуетъ ее*).

Ольга. (*цѣлуя мать*). Примите и отъ меня полную благодарность.

Мар. Павл. Не за что, милые мои. Будетъ уже здѣсь жить, пора и отдохнуть намъ. Только тебя жаль, Ольга: жениха тамъ не найдешь образованнаго. Впрочемъ...

Ольга. Да я и не пойду тамъ ни за кого.

Мар. Павл. Ну, Паша... Вотъ ты и засѣдатель! А, вѣдь, въ уѣздѣ засѣдатель суда много значитъ. Здѣсь мѣста хорошаго не добьешься, да тебя никто и не знаетъ, а тамъ засѣдатель—аристократъ, важный человѣкъ: живетъ по пански. Вотъ-то у насъ будутъ лошади, тарантасъ, хорошія платья, домъ. Смотри, веди себя только гордѣй.

Суд. Ну, ну, ты много насказала... Теперь ужъ, душа моя, тебѣ меня не перехитрить. Я ни за что не возьму и тысячи.

Мар. Павл. (*смѣясь и трепля его по лицу*). Ой-ли?

Суд. Вотъ тебѣ Богъ. Пора знать совѣсть. Я покажу себя, каковъ Судейкинъ! Пусть знаютъ, что значитъ быть честнымъ...

Мар. Павл. (*смѣясь*). Право?

Суд. Передъ Ольгой я не солгу.

Ольга. Ей-богу, мамаша! Теперь ужъ буду дѣйствовать я, а не вы, и папаша взятки не возьметъ.

Мареа Павловна смотритъ злобно то на Судейкина, то на Ольгу, которые, смотря другъ на друга, улыбаются.

Конецъ 1 дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Угловая комната съ двумя окнами налѣво, на окнахъ по три банки цвѣтовъ, къ аванъ-сценѣ у стѣны столъ, стулья. Направо дверь въ комнаты. Впереди двѣ двери, одна въ прихожую, другая въ кабинетъ Судейкина. Комната штукатурная. Передъ зрителями на стѣнѣ два портрета.

ЯВЛЕНІЕ I.

Ольга. (*одна у стола, смотря въ окно*). Вотъ и уѣздный городъ. Вчера только пріѣхали и нашли едва-едва квартиру съ тремя комнатами и кухней за 3 рубля въ мѣсяцъ. Ну и городокъ! Четыре каменныхъ дома: два одно-этажныхъ и два двухъ-этажныхъ, а то все деревянные, ветхіе домишки. Рѣчка маленькая. Нигдѣ нѣтъ и сада, не-

гдѣ будетъ и погулять. Тротуары только въ одной улицѣ и то до половины, и притомъ такіе, что въ одномъ мѣстѣ построены отъ домовъ сажень на пять; фонарей и вовсе не видно. А народъ-то? Съ перваго раза такъ и видишь уѣздное спокойствіе, довольство или скуку. А живутъ же, живутъ, родятся и умираютъ здѣсь! Такъ, должно быть, всѣ наши уѣздные города. Не пустѣть же мѣсту. Гдѣ-нибудь да надо жить. Вотъ и намъ надо будетъ привыкать и жить. А какъ скучно съ перваго раза... Скучно о губернскомъ городѣ, о рѣкѣ, бульварѣ, о собраніи. Здѣсь ихъ нѣтъ! Скучно о Карташевѣ... Какъ я плакала, какъ прощалась съ нимъ. «Я тебя не забуду, говоритъ, буду писать письма. Пиши и ты». Не забывай, мой милый! О, какъ я его люблю! Богъ знаетъ, когда придется увидѣть.

ЯВЛЕНІЕ II.

Ольга и Судейкинъ (входя въ вицмундирѣ).

Суд. Уфъ! усталъ *(утирается платкомъ)*. Кажется не жарко, а весь такъ вспотѣлъ. Чортъ бы ихъ побралъ совсѣмъ! *(Уходитъ въ кабинетъ и возвращается безъ вицмундира, съ щеткой въ рукѣ, чиститъ брюки)*. Всѣ брюки выпачкалъ въ грязи! Ужъ городокъ!

Ольга. Такъ вы пѣшкомъ ходили?

Суд. *(съ сердцемъ)*. На лѣшемъ, что ли, я поѣду?

Ольга. Извозчика бы наняли.

Суд. (*такъ же*). Извозчика! О нихъ здѣсь только понаслышкѣ знаютъ, да и то тѣ, кто жилъ въ губернскомъ городѣ *(чиститъ)*. Чортъ — не городокъ! Ужъ лучше бы не ходить вовсе!

Ольга. Ну, какъ же вы путешествовали?

Суд. Попробуй сама, такъ и узнаешь. Прытка больно! Извозчика! Лѣшаго здѣсь найдешь, да и никого дома не застанешь. Съ самаго начала я вышелъ изъ дома, сухо. Ладно. Иду кварталъ, думаю, найду извозчика. Не видно. Спрашиваю какую-то женщину—за водой шла: «гдѣ бы, сударыня, извозчика, найти?».. Она вытаращила на меня глаза: «Не знаю, сударь». Я пошелъ дальше, Вижу, на углу двѣ лошади съ кучерами въ тарантасахъ. Я думаю, что это извозчики, и, какъ у насъ, машу рукой. Не ѣдутъ. Свищу—ни тпру, ни ну! Смотрю, по сторонамъ два мѣщанина идутъ, стали, смѣются, указываютъ на меня и говорятъ: гляди-ка, чаво это баринъ-то свиститъ! «Выпимши знать»—говоритъ другой.—«Да это, кажись, не здѣшній»! «И то!» Я разсердился. Дохожу до этихъ кучеровъ-извозчиковъ. «Глухи, что ли, вы!—кричу.—Много ли въ часъ возьмете?» Они молчатъ и смотрятъ на меня. «Вы извозчики, что ли, или нѣтъ?» Они шапки поскидали и говорятъ: «Никакъ нѣтъ-съ. Мы съ баринами пріѣхали». «Кто твой баринъ?»—спрашиваю одного.—«Секретарь,—говоритъ,—уѣзднаго суда». «Гдѣ, спрашиваю, онъ живетъ». «Здѣсь». «А ты кого привезъ?» спрашиваю — другого.—«Я, говоритъ, повѣреннаго». Ну, не идти же мнѣ первому къ секретарю, да и то къ нему первому. Спрашиваю, гдѣ живетъ судья, засѣдатель, стряпчій, бургомистръ, исправникъ и тому подобныя лица. Сказали. Я и пошелъ къ судьѣ. Онъ, говорятъ, гдѣ-то въ карты съ казначеемъ играетъ. Исправникъ на охоту уѣхалъ, зайцевъ стрѣлять; почтмейстеръ, городничій—тоже. У судьи вышла жена его, толстая такая, не дальняго ума, видно, что купеческая дочь. Засѣдатель земскаго суда уѣхалъ зайцевъ стрѣлять. Ихъ уѣхало человѣкъ 20... Жены ихъ по грибы, да по ягоды уѣхали. Былъ у стряпчаго, это маленькій, толстенькій, сѣденькій старичекъ. Горячъ ужасно. У него выпилъ чашку кофе. Онъ меня принялъ вѣжливо. Потомъ пошелъ къ засѣдателю Зимину, товарищу по суду. Онъ раскладывалъ пасьянсъ. Молодой, способности есть, только дѣло, кажется, плохо знаетъ. Я его пригласилъ на обѣдъ сегодня.

Ольга *(удивляясь)*. Какъ скоро!

Суд. Нельзя. Мы съ нимъ давно знакомы, вмѣстѣ въ палатѣ служили.

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же и Мареа Павловна.

Мар. Павл. Ты уже дома?

Суд. Дома.

Мар. Павл. Ну что?

Суд. Никого не засталъ дома. Мужья уѣхали стрѣлять зайцевъ, а жены по грибы.

Мар. Павл. Ну я пирогъ большой состряпала, во всю лопату. Нашла было стряпку, дала ей кое-что стряпать, а она и булки не знаетъ, какъ испечь. Сварить супу не сумѣла! Я и выгнала ее.

Суд. Ну ты уже совершила подвигъ!

Мар. Павл. Еще не то будетъ. Скверно, право: надо нанять кого-нибудь. А то воду самой придется носить съ рѣчки. А вода какая невкусная! Хоть бы съ ключа какого достать. Паша, ты бы хоть поискалъ стряпки-то?

Суд. *(уходитъ въ кабинетъ)*. Ладно. А нѣтъ, попросила бы пока сосѣдку. Кто тамъ, не барыня, чай, живетъ.

Мар. Павл. Не худо бы намъ съ Ольгой сходить съ визитомъ кое къ кому.

Ольга. Я ни за что не пойду!

Мар. Павл. Это отчего?

Ольга. Да чего мнѣ тамъ дѣлать?

Мар. Павл. Показаться, познакомиться.

Ольга. Очень вамъ благодарна! Пусть сами знакомятся.

Мар. Павл. Все же нехорошо не сдѣлать имъ чести, это много значитъ.

Суд. *(выходя изъ кабинета въ пальто и съ трубкой)*. Во-первыхъ, ты кое кого-то еще вовсе не знаешь, да я и не видалъ самихъ мужей; во-вторыхъ, онѣ уѣхали по грибы; въ-третьихъ, можно съѣздить завтра, а въ-четвертыхъ, я хочу, чтобы хоть мужья-то сами познакомились съ нами напередъ. Это матушка, Мареушка, имъ много чести будетъ, вотъ что!

Мар. Павл. Ну такъ ладно. Теперь ихъ, въ самомъ дѣлѣ, не застанемъ дома. Я имъ съ Оль-

гой покажу себя. Мы покажемъ себя—каковы губернскія-то!

Суд. Ну, вы увидите... Вонъ кто-то ѣдетъ, съ визитомъ никакъ!

Ольга *(подходя къ окну)*. Рыжій какой-то, красный! Уйдемъ, мамаша.

Мар. Павл. Посмотримъ на нѣго. Кто это такой?

Ольга. Да мы въ дверь будемъ смотрѣть. *(Уходитъ въ комнату)*.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Судейкинъ и секретарь Запесошный. (Рыжіе волосы, лицо красное, говоритъ съ разстановкой, приговаривая часто «гм», прихрамываетъ на лѣвую ногу. Въ вицмундирѣ. Въ рукахъ трехъугольная шляпа).

Зап. (*неловко кланяется*). Имѣю честь явиться... коллежскій секретарь, Иванъ Назарычъ Запесошный.

Суд. *(про себя)*. У него лошадки есть. Да онъ кажется, того-съ, выпивши. *(Запесошному, указывая на стулъ)* Прошу садиться. Позвольте знать, вы кто такой *(Протягиваетъ ему руку)*.

Зап. *(робѣя)*. Я-съ?.. гм... извольте видѣть... Коллежскій секретарь!

Суд. *(про себя)*. Недальняго ума. *(Ему)* Гм! знаю-съ. Должность ваша?

Зап. *(сконфузясь)*. Гм... гм... секретарь уѣзднаго суда.

Суд. Очень радъ, что имѣю честь видѣть представителя суда,—да, хозяина суда, какъ вообще зовутъ сами себя секретари. Садитесь, Платонъ Назарычъ.

Зап. *(садясь)*. Благодарю-съ. Вы-съ все въ палатѣ служили?

Суд. *(садясь)*. Да, служилъ восемнадцать лѣтъ, служилъ и въ губернскомъ правленіи. А вы давно секретаремъ?

Зап. Третій годъ.

Суд. А раньше гдѣ служили?

Зап. Въ канцелярскомъ училищѣ, изволите видѣть, я обучался. Писавъ чисто, я былъ опредѣленъ въ канцелярію губернатора; гм! былъ потомъ бухгалтеромъ въ комиссіи; потомъ-съ въ губернскомъ правленіи писцомъ служилъ; гм! здѣсь служилъ писцомъ, столоначальникомъ былъ три года...

Суд. Давно въ службѣ?

Зап. Тринадцатый годъ.

Суд. Ну, какъ у васъ въ судѣ?

Зап. Гм! Все хорошо-съ. Гм! порядокъ отличный у насъ заведенъ.

Суд. Позвольте узнать вашъ порядокъ. Я здѣсь не служивалъ, нужно привыкать. А то, не знавши порядка, трудно будетъ служить. Я знаю, въ судахъ все разныя формы—не такъ, какъ въ одномъ судѣ, хотя и должна быть во всемъ однообразность. *(Даетъ трубку Запесошному. Тотъ робко куритъ)*.

Зап. *(про себя)*. Гм! канальство... штука видно онъ. *(Судейкину)*. Гм! На службу ходятъ всѣ. Сидимъ съ девяти до часу, да вечеромъ съ пяти до 9 часовъ. А кто не придетъ-съ, того—и безъ сапогъ.

Суд. Безъ сапогъ, позвольте вамъ замѣтить, оставляли въ старину. Теперь уже не то. Нужно дѣйствовать на служащаго не насиліемъ, а словомъ, убѣжденіемъ.

Зап. Гм! Да они не понимаютъ-съ.

Суд. Нужно умѣть быть такимъ, чтобы понимали. Много ли дѣлъ у васъ по настоящее число?

Зап. Дѣлъ сотни три или еще меньше-съ. Нерѣшенныхъ-съ около 50, а то все рѣшены, да за неисполненіемъ рѣшеній остаются.

Суд. А бумагъ?

Зап. Гм! Не знаю.

Суд. А протоколовъ много, напримѣръ, подано въ присутствіе?

Зап. Штукъ шестьдесятъ-съ.

Суд. А!.. Какъ же это протоколовъ больше, чѣмъ нерѣшенныхъ дѣлъ?

Зап. Гм! Это уже столоначальниковъ дѣло...

Суд. А вы что же смотрите, секретарь?

Зап. Да я-съ, гм! только вчера вышелъ, все въ горячкѣ былъ...

Суд. *(про себя)*. Видно, что хворалъ. Красный, какъ окунь, да и виномъ тащитъ, какъ отъ бочки. *(Вслухъ)*. Ну, а вы не допускаете безпорядка?

Зап. *(храбрясь)*. Я-то? Гм! Я такой характерный, что ни за что не допущу неисправности. Эти вотъ сіи-то протоколы безъ меня все накопились. Ужъ я бранился, бранился, а толку все мало.

Суд. Кто же за васъ правилъ должность?

Зап. Чуроховъ—надсмотрщикъ и расходчикъ.

Суд. Хорошій человѣкъ?

Зап. Плутъ, негодяй-съ. Скотина сущая *(оглядывается)*.

Суд. Никого нѣту-съ. Что же онъ вѣрно въ свои руки все загребаетъ?

Зап. Да-съ.

Суд. А другого развѣ нѣтъ, его лучше, у васъ въ судѣ?

Зап. Гм! Нашлись бы, какъ нѣту-съ... да тутъ-съ... *(оглядывается)*.

Суд. Что-нибудь да есть?.. Ничего, не бойтесь. Я еще не видалъ судью.

Зап. *(тихо)*. Тутъ расположеніе судьи.

Суд. А! Какъ же онъ втерся къ судьѣ?

Зап. Извѣстно какъ-съ... Гм! Онъ начитанный-съ человѣкъ. Все «Сынъ Отечества» читаетъ, да «Московскія Вѣдомости». Гдѣ намъ,—не по капиталу. Кланяется низко. За словомъ въ люди не полѣзетъ—лучше всѣхъ здѣшнихъ-то Сократовъ обойдется. Гм! Да и сдѣлать-то сумѣетъ, Гм! Судья его и любитъ. Надсмотрщикъ, вѣдь! Платитъ въ мѣсяцъ судьѣ. Расходуетъ много, а ничего почти нѣтъ. Кромѣ того-съ, отецъ его опекуномъ. Ну, мѣшечковъ десять привезетъ судьѣ,—ладно. Вотъ вы увидите. Конечно, и вамъ привезетъ мѣшечковъ пять, поплатится ладно. А я гдѣ возьму...

Суд. *(про себя)*. Эдакая скотина! Вотъ нѣтъ Мары-то Павловны. *(Ему)*. И вамъ даетъ, тоже?

Зап. Гдѣ ужъ мнѣ. Мнѣ, говорятъ, не за что-съ. Я простякъ. Гм! Вотъ если бы не жена у меня. Умная женщина! Рѣдкостная! Она и въ секретари меня вывела,—не бывать бы. Она все поддерживаетъ меня. Терпи, говоритъ, Ваня, казакъ, атаманомъ будешь; возьметъ да и пойдетъ къ судейшѣ, подаритъ ей платочекъ какой-нибудь, или духовъ какихъ-нибудь, или индюшку... И служишь ладно. Гм! А то обижаетъ, подлецъ, сильно.

Суд. *(улыбаясь)*. Кто же?

Зап. Чуроховъ. Точно, гм! я ему костью въ горлѣ сижу. «Пьяница, говоритъ, вы, Иванъ Назарычъ. Дѣла своего не знаете. Не жена бы, такъ были бы въ отставкѣ». Ну, разсудите-съ, кому пріятно слышать такую *пасквиль*! Вѣдь, за живое задѣваетъ! Ты обработывай, трудись, а онъ, тово... онъ, и беретъ такъ, да еще обзывается.

Суд. И вы все терпите?

Зап. Хотѣлъ было рапортъ подать на него, да чего возьмешь? Ужъ губернатору пожалуюсь. Хоть вы, Павелъ Тимоѳеичъ, не оставьте меня.

Суд. Не безпокойтесь. Когда мы поймемъ другъ друга, мы его скрутимъ.

Зап. *(весело)*. Я было хотѣлъ его, выпивши, побить, да ну его!.. Отпустилъ.

Суд. Не мѣшало бы. У насъ былъ такой же подобный господинъ. Фискаломъ всѣ звали. Ну, знаете, въ палатѣ ребята бойкіе, хваты, подъ пьяную руку не попадайся. Зазвали эдакъ его за рѣку, да и отодрали... Такъ-таки отодрали—чудо. (*Размахиваетъ руками, представляя, какъ драли*). Не фискаль! Не ябедничай! Будь дружнѣе... (*Запесошный также разводитъ руками, какъ и Судейкинъ, и при этомъ качаетъ головой. При послѣдней фразѣ онъ смѣется и неистово долго потираетъ руками, такъ что Судейкинъ громко смѣется*). Такъ бы и вамъ его отодрать.

Зап. Хотѣли было... Ну да мы его... (*опять потираетъ руками и смѣется. Встаетъ*). Прощайте-съ! гм! Ко мнѣ прошу покорно!

Суд. Благодарю! (*Подаетъ руку и кланяется. Запесошный выходитъ. Входитъ Чуроховъ*).

ЯВЛЕНІЕ V.

Судейкинъ и Чуроховъ (Въ форменномъ сюртукѣ. Волосы долгіе; одѣтъ щеголевато).

Чур. (*кланяясь*). Имѣю честь явиться и поздравить васъ съ пріѣздомъ,—надсмотрщикъ и расходчикъ уѣзднаго суда.

Суд. (*кланяясь и протягивая руку*). Очень благодаренъ. Я объ васъ знаю мелькомъ по дѣламъ, слыхалъ, что вы дѣльный человѣкъ, и очень радъ.

Чур. Я больше всего радъ за ваши отзывы. Здѣсь такъ глухо, что не съ кѣмъ слова сказать. Позвольте васъ спросить, какъ звать васъ по имени и отчеству?..

Суд. Павелъ Тимоѳеичъ, а васъ?

Чур. Платонъ Иванычъ.

Суд. Прошу садиться.

Чур. Очень благодаренъ. Я думаю, въ губернскомъ городѣ много новостей? Вотъ ужъ здѣсь ровно ничего не можетъ быть новаго. Мы живемъ въ какомъ-то захолустьѣ, заплѣсневѣли. Здѣсь ужасно скучно *(оба садятся другъ возлѣ друга)*.

Суд. Во-первыхъ, я вамъ скажу, что новостей тамъ такъ же мало, какъ и здѣсь. Всѣ новости, сообщаемыя въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ» такъ рѣдки и ничтожны, что о нихъ и говорить не стоитъ. Новости тамъ знаютъ изъ газетъ, въ которыхъ больше развѣ интересуются происшествіями, да кое-кто политикой. О литературѣ не стоитъ говорить. Ею, большею частью, занимаются женщины, какъ совершенно незанятыя ничѣмъ постороннимъ. Скандалы и домашнія сплетни случаются часто и въ высшемъ и низшемъ кругу. Но это пошлость. Мы, люди служащіе, интересуемся частью офиціальною: службой, переводами и тому подобнымъ. Но это, вѣдь, не новости, это обыкновенно. Слѣдить за этимъ, право, не стоитъ труда. Положимъ, тамъ есть кое-какое разнообразіе—и то лѣтомъ. Но зимой скука, какъ и вездѣ. Во-вторыхъ, у васъ здѣсь, по-моему, гораздо проще, общительнѣе и спокойнѣе должно быть. Здѣсь только надо отдыхать. А у насъ мелкому чиновнику и повеселиться-то негдѣ, да и некогда. У васъ вотъ, напримѣръ, мужчины стрѣляютъ дичь, зайцевъ, а женщины по грибы ѣздятъ. Видите, какъ просто, патріархально...

Чур. Ну, какъ хотите, все скучно. Я до охоты за зайцами вовсе неохотникъ. Для меня лучше всего провести время за дружескимъ разговоромъ; но здѣсь рѣшительно нѣтъ такихъ, кто бы кое-что смыслилъ. О литературѣ здѣсь такъ мало знаютъ, что и говорить не съ кѣмъ. За политикой никто вовсе не слѣдитъ. У нашей аристократіи политика состоитъ въ томъ, чтобы прогуляться съ ружьемъ въ лѣсъ, да побранить кого-нибудь, или поиграть въ карты,—это я говорю потому «политика», что наши дамы это зовутъ политикой... (*Помолчавъ*). Тамъ, я думаю, очень интересуются новымъ губернаторомъ. Онъ еще не пріѣхалъ?

Суд. Нѣтъ. Ждутъ.

Чур. Скажите, пожалуйста! А у насъ дожидаются, что онъ уже ѣдетъ сюда. Особенно стряпчій.

Суд. Ха, ха, ха! Однако, всѣ въ разгонѣ?!

Чур. Они, впрочемъ, заказали сторожамъ, что чуть узнаютъ, что пріѣхалъ, бѣжать за ними туда-то. Но ихъ предостерегаетъ почтмейстеръ. Этотъ господинъ, я вамъ скажу, знаетъ раньше всѣхъ, кто пріѣхалъ сюда, кто выѣхалъ. Вотъ, напримѣръ, вы вчера пріѣхали сюда, теперь уже всѣ узнали, что пріѣхалъ новый засѣдатель. Знаютъ даже, какъ васъ зовутъ и величаютъ. А скотина ужасная. Знаете, что онъ дѣлаетъ: старыя марки наклеиваетъ. Получатся письма, онъ обдеретъ марки-то, да и наклеиваетъ послѣ на письма, а деньги въ карманъ; а копейку, три копейки сдачи не отдастъ ни за что: на томъ свѣтѣ разочтемся! Говорятъ, губернаторъ бѣдовый.

Суд. Да, говорятъ. Вообще говорятъ передъ проѣздомъ про губернаторовъ, что они Богъ знаетъ что, но какъ приглядишься къ нему, такъ ровно ничего. Ну, а въ уѣздномъ городѣ тѣмъ болѣе.

Здѣсь и чиновнику изъ губернскаго города, Богъ знаетъ, какъ раболѣпствуютъ. Здѣсь вѣрятъ все письмамъ, что вотъ какой нашъ губернаторъ, онъ вамъ! Вы и не знаете, что дѣлать. Такъ, вѣдь?

Чур. Да, да! Вотъ тоже былъ старый губернаторъ. Сколько трусили передъ его пріѣздомъ въ городъ, а все сходило благополучно. Ужъ какіе безпорядки были: такъ прямо въ глаза и бросается. А все сходило... *(достаетъ изъ портсигара сигару и даетъ другую Судейкину, тотъ кланяется и куритъ).*

Суд. Вы женатый?

Чур. Я? О, нѣтъ, пока—слава Богу.

Суд. Отчего же? Я на двадцатомъ году женился.

Чур. То было прежде. Прежде времена-то были не такія, какъ теперь.

Суд. Дикія, думаете? Ну, я вамъ скажу, въ уѣздѣ только женатому и жить. У васъ больше возможности здѣсь, чѣмъ въ городѣ.

Чур. Нѣтъ, я вовсе не хочу жениться.

Суд. Ну, это еще, батюшка, не рѣшено. Всѣ вы, молодые люди, такъ говорите, а какъ влюбитесь, ну и захотите жениться. Особенно попадется невѣста съ деньгами, да отецъ у которой вліятельное лицо. Вамъ который годъ?

Чур. Двадцать пятый.

Суд. Вы въ батюшкиномъ домѣ живете?

Чур. Да. Но хоть я у него живу, а все отдаю, какъ чужому, 10 руб. сер. въ мѣсяцъ.

Суд. Это хорошо, что вы не забываете своего отца. А то много есть такихъ дѣтей, которые, какъ опредѣлятся на службу, такъ идутъ на квартиру: я, говоритъ, хочу пожить самъ собой. Вотъ, если вы бы женились, такъ эти деньги шли бы ужъ не батюшкѣ, а на ваше хозяйство. Вы много ли получаете жалованья?

Чур. Восемь рублей.

Суд. А! такъ, значитъ, вы богачъ...

Чур. *(улыбаясь).* Изъ чего вы заключаете?

Суд. *(смѣясь).* Да какъ же? Платите батюшкѣ въ мѣсяцъ 10 руб., одежду шьете, сигары курите...

Чур. *(обидясь).* Я могу находить источники. Но позвольте вамъ замѣтить, я все-таки нисколько не богатъ.

Суд. Однако, вы надсмотрщикъ и расходчикъ.

Чур. Все-таки этимъ вы не докажете, что я богатъ. Городъ здѣсь небольшой. Въ крѣпостномъ столѣ дѣлъ мало и доходы не велики.

Суд. Однако, я слыхалъ, что надсмотрщики въ судахъ вообще имѣютъ состояніе. Это между нами. Извините. Позвольте васъ спросить, великъ расходъ въ судѣ?

Чур. Канцелярская сумма выходитъ къ концу года вся, несмотря на то, что мы никому изъ служащихъ не даемъ награды.

Суд. *(смѣясь).* Неужели и гроша нѣтъ въ остаткѣ?

Чур. Какъ! Что вы! Въ третьемъ годѣ у насъ осталось три копейки, въ прошломъ полторы. Да нельзя и не выйти: сумма мала, нужно жалованье, дрова, свѣчи, бумага, чернила и на другую мелочь.

Суд. Ну эта мелочь-то, слыхалъ я, идетъ въ карманы расходчиковъ.

Чур. Помилуйте, Павелъ Тимоѳеичъ. Я вамъ откровенно скажу, что я честенъ. Это знаетъ судья. Вы какъ послужите, такъ и узнаете.

Суд. Не знаю, я, вамъ скажу, извините, что я того мнѣнія, что расходчики четвертую часть тянутъ въ карманы. Не такъ ли?

Чур. *(про себя).* Каковъ! Уже съ перваго раза колетъ мнѣ глаза. Э! братъ! уймешься, шолковый будешь *(Судейкину):* Не вѣрьте, это вздоръ. Я всегда стараюсь о пользѣ служащихъ и начальниковъ.

Суд. Вы давно расходчикомъ?

Чур. Пятый годъ.

Суд. А! Васъ въ другой разъ выбрали?

Чур. Нѣтъ. Меня выбралъ судья назадъ тому пять лѣтъ.

Суд. Кажется, по закону, служащіе должны выбирать.

Чур. Они ничего не знаютъ. Да это будетъ и безполезно. Въ продолженіе пяти лѣтъ, какъ меня выбралъ судья, въ судѣ остался только одинъ изъ служащихъ.

Суд. За крѣпости [1]) много ль даютъ?

Чур. А вамъ на что?

Суд. *(смѣясь).* Нѣтъ, однако?

Чур. Увидите сами, какъ будутъ давать.

Суд. Милостивый государь, прошу васъ не примѣнять меня къ себѣ! *(успокоивается).* Но извините! *(даетъ ему руку).* Я пошутилъ. Мы съ вами свыкнемся. Извините, Платонъ Ивановичъ, надо бы водочки, да я еще не устроился хорошенько...

Чур. *(вставая).* Нѣтъ, я водки не пью. Я пришелъ васъ поздравить съ пріѣздомъ... Надѣюсь, мы съ вами будемъ какъ-нибудь ладить. Я вижу, вы человѣкъ опытный, а намъ такого-то и надо. Судья ничего не знаетъ, онъ только бумаги распечатываетъ да подписываетъ. Зиминъ резолюціи пишетъ со словъ столоначальника... Я рѣшительно все дѣлаю.

Суд. Очень радъ! Вы, конечно, и обдѣлываете все?

Чур. Да, я! кромѣ меня кому? Зато я вамъ скажу, пользуясь самъ немного, даю большую половину членамъ.

Суд. Что вы? За что?

Чур. Вамъ, можетъ-быть, странно, но у меня это такъ. Я не люблю обижать другихъ. Когда вы послужите, то увидите, и нисколько не будете удивляться тому, что я вамъ теперь говорю. Позвольте вамъ пожелать всякаго благополучія, Павелъ Тимоѳеичъ. Я вижу, вы не поняли меня... Поймете. Я васъ увѣряю, здѣсь вы будете довольны службой: вы тысячи двѣ въ годъ наживете. Дѣлъ я не считаю, а заводы намъ помогаютъ. Къ тому же, общество васъ будетъ уважать, и вы будете сыты. Прошу ко мнѣ во всякое время. Сегодня у меня будетъ

---

[1]) Купчія, т.-е. документъ на право собственности. При старомъ судопроизводствѣ онѣ совершались въ уѣзд. суд.

вечеръ, по случаю именинъ папаши, соберется вся аристократія, пѣвчіе будутъ, танцы... Прощайте!

Суд. *(сухо подаетъ ему руку, Чуроховъ уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ VI.

Суд. *(Одинъ, смотря вслѣдъ Чурохову).* «Вы тысячи двѣ въ годъ наживете...» А! какова скотина! скажите; пожалуйста! и съ такимъ плутомъ мнѣ нужно будетъ служить! Любимецъ судьи! *(сердито ходитъ скоро по комнатѣ).* Ахъ ты, гадина этакая, да я знаешь что съ тобой сдѣлаю? А! Господи! что было бы со мной, если бы ты не вразумилъ меня? Я бы поддался этой лести. Здѣсь ужъ брать взятки необходимость, обыкновеніе! Видно, что здѣсь рвутъ изъ горла!.. И это все какой-нибудь надсмотрщикъ, который за носъ водитъ судью, членовъ, секретаря и дѣлаетъ, что захочетъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Судейкинъ, Мареа Павловна и Ольга.

Мар. Павл. Ну что, каковъ надсмотрщикъ?

Суд. Гадкій человѣкъ, какихъ очень мало, сударыня.

Мар. Павл. Ахъ, какой онъ прекрасный, образованный. Какъ онъ милъ. Ну, развѣ худо нажить въ годъ двѣ тысячи.

Ольга. Самый гадкій человѣкъ этотъ Чуроховъ.

Суд. Я его хотѣлъ чубукомъ ожечь по спинѣ, какъ онъ выходилъ, да такъ немного удержался.

Мар. Павл. Вотъ какъ глупъ ты, Паша! Ну какъ тебѣ не держаться такого человѣка? Вѣдь, онъ судьей ворочаетъ.

Суд. Экъ хорошо! судьей ворочаетъ расходчикъ! Эхъ, ты! Нѣтъ въ тебѣ совѣсти.

Мар. Павл. Въ тебѣ больно много! Не я бы, такъ не получилъ бы и этого мѣста. Грубіянъ ты, необразованный невѣжа, вотъ что!

Ольга. Нѣтъ, мамаша, постойте. Вы поймите папу, это честный чиновникъ, это благородный мой папа!

Мар. Павл. Не защищай, матушка, съ нимъ то-и-дѣло жди себѣ бѣды.

Ольга. Нѣтъ, мамаша, за правду Богъ не наказываетъ. Такъ, папа, начинайте.

Мар. Павл. *(съ сердцемъ).* Вотъ далъ мнѣ Богъ дѣвчонку *(уходитъ).*

Суд. Будемъ, Оля, хотя мы съ тобой честны... Будь, что будетъ, я начинаю... *(Обнимаетъ ее и цѣлуетъ).* Ахъ, кто-то ѣдетъ! *(Она уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Судейкинъ и Дороѳеевъ (Толстенькій, низенькій, волосы долгіе, сѣдые и всклокочены, борода небольшая. Въ формѣ. Ходитъ, выставляя брюхо впередъ, голову держитъ кверху, сопитъ. Когда говоритъ о духовномъ—гнуситъ, руки оттопыриваетъ).

Дор. *(входя).* Мое почтеніе, сударь!

Суд. *(про себя).* Какое чучело! И въ формѣ, со шпагой... *(кланяясь).* Мое почтенье!

Дор. Осмѣлюсь доложить: вы новый засѣдатель?

Суд. Точно такъ-съ. Павелъ Тимоѳеевичъ Судейкинъ. Позвольте знать и мнѣ, кого имѣю счастіе видѣть.

Дор. *(важно).* Бургомистра городового магистрата, второй членъ по уѣздному судьѣ... второй гильдіи купецъ Иванъ Захаровъ, сынъ Дороѳеевъ.

Суд. *(беретъ его руку).* Очень радъ, и благодарю васъ за визитъ. Извините, мнѣ первому бы слѣдовало итти къ вамъ, но вышло такъ, что я, во-первыхъ, не знаю, гдѣ вы живете, а во-вторыхъ, было не на чемъ. Я было пошелъ пѣшкомъ, въ полной надеждѣ, что найду извозчиковъ, и не нашелъ ихъ.

Дор. *(садится).* Здѣсь, сударь, я вамъ доложу, этихъ извозчиковъ-то не завелось. Вотъ у васъ тамъ, въ губерніи-то, они есть, я видѣлъ, съ ярлычками еще на спинѣ, а у насъ на что? Городъ небольшой, у кого есть лошадка, ѣздитъ, а у кого нѣтъ, и такъ ходитъ. Оно и моціонно. А вы безъ лошадки живете?

Суд. Не имѣю.

Дор. Вы бы на почтовый послали. Почтмейстеръ далъ бы.

Суд. Я еще его не видѣлъ, да и какъ-то неловко.

Дор. Ну, секретарь бы далъ. У него двѣ ихъ.

Суд. Съ нимъ я тоже познакомился, какъ и съ вами. Да я какъ-то неловокъ на то, чтобы просить.

Дор. У меня вонъ славныя лошадки. Четыре лошади. Пожалуй, продамъ.

Суд. Нѣтъ, теперь не нужно пока.

Дор. Ничего, я вамъ велю привести съ тарантасомъ, а деньги послѣ отдадите. Я вонъ нынѣ исправнику подарилъ; онъ, знаете, свою-то въ карты проигралъ. Въ третьемъ году я покойнику засѣдателю подарилъ.

Суд. О, нѣтъ, очень благодаренъ. Я вамъ не потому говорю, что мнѣ нужна лошадь, но въ первый разъ мнѣ хотѣлось скорѣе объѣздить нашу аристократію на извозчикѣ, такъ какъ своей лошади нѣтъ, а извозчики всегда болѣе знаютъ, чѣмъ кучера. Вѣдь городъ здѣсь небольшой: куда недалеко, можно и пѣшкомъ пройтись. Я вовсе неохотникъ до лошадей.

Дор. Такъ, такъ. А все съ лошадкой веселѣе.

Суд. У васъ лавки есть здѣсь?

Дор. Какъ же, въ гостиномъ двѣ лавки. Нонѣ погребокъ хочу открыть.

Суд. Чѣмъ же вы торгуете?

Дор. *(важно).* Всѣмъ-съ. Галантерейные и бакалейные есть, чай, сахаръ, кофе, шелкъ, серебро. Только, я вамъ доложу, горе съ этимъ товаромъ. Ну, извѣстно дѣло, городъ небольшой. Продамъ рублей на триста въ годъ, нужно приказчикамъ заплатить, судьѣ, да городничему, да то, да другое. Училище тамъ какое-то завелось, воскресное что-ли. Никто не ходитъ, потому учить стало некому, а требуютъ: книгъ подай, того, другого. Оно хоша бы въ прокъ было. Въ запрошлый разъ я спросилъ одного мальчугана: «а что ты ходишь въ школу-то, воскресную-то?» «Былъ, говоритъ, разъ, давно;

теперь не учатъ, недавно былъ, прогнали». Смотритель бумаги проситъ, денегъ. Вотъ они мудрые-то каковы! А тутъ пріѣдетъ еще ассесоръ изъ казенной палаты свидѣтельствовать торговлю, тутъ тридцать да 50 рублей давай. Оно, конечно, худого нѣтъ въ продажѣ, что жъ,—что продаешь не по таксѣ—имъ какое дѣло?—Это просто грабежъ! *(гнуситъ)*, выжига такая, стариченко, прости Господи, Бога не боится! Придетъ, бывало, прежде, въ лавку, возьметъ матеріи хорошей кусокъ, первый что есть лучшій, послѣдній, почитай, съ которой можно рублей сто получить... Я, говоритъ, возьму это, деньги пришлю. Велитъ кучеру унесть, увезетъ, да и не отдастъ деньги. Ну и проси съ него! Набухвоститъ. Торговлю свидѣтельствуетъ. Оно и вдвое взыщутъ. Заплатишь. Шемякинъ судъ и выходитъ.

Суд. И табакъ есть?

Дор. Какъ же, но это малая толика.

Суд. Напрасно. На этотъ товаръ всегда больше охотниковъ, чѣмъ на шелковыя матеріи. Нынѣ всѣ рѣшительно курятъ табакъ. Какой же вы продаете?

Дор. Мусатова.

Суд. *(вынося четверку, показываетъ Дороѳееву)*. А вотъ табакъ хорошій. Я всегда этотъ курю.

Дор. *(беретъ четверку и любуется на картинку)*. Хорошъ, видно, что хорошъ!

Суд. Вы надпись-то прочитайте.

Дор. *(читаетъ)*. При... со... мо... о... вле... нн... іе... спо... бу... му... бу...

Суд. *(про себя)*. Бургомистръ! Ай-да бургомистръ!

Дор. *(читаетъ)*. Собу... безъ... бе... я... к... Нѣтъ, не разберу. Я читаю все больше церковную печать да писанное... Да и безъ очковъ не вижу.

Суд. Вотъ, попробуйте! *(набиваетъ трубку и закуриваетъ. Даетъ ему. Дороѳеевъ морщится)*.

Дор. Нѣтъ, я не курю. Грѣшно!

Суд. Что вы? Тутъ вовсе нѣтъ грѣха.

Дор. *(гнуситъ)*. Какъ нѣтъ. Великій грѣхъ, въ писаніи сказано...

Суд. Запахъ-то какой!

Дор. *(морщится)*. Чувствую... Вы женатый-съ?

Суд. Да-съ; а что?

Дор. Такъ-съ. Я самъ женатъ. Вы давно женились?

Суд. Девятый годъ.

Дор. И дѣточекъ пріобрѣли?

Суд. Какъ же. Дочь Ольга, девятнадцати лѣтъ, да сынъ Николай, восьми лѣтъ.

Дор. Такъ вы женаты, сударь, на второй?

Суд. Что же тутъ удивительнаго?

Дор. Ничего-съ. Такъ, къ слову... Я самъ на второй женатъ.

Суд. Вы часто посѣщаете магистратъ?

Дор. Если дѣла много—ѣзжу въ недѣлю разъ, а нѣтъ—такъ и въ мѣсяцъ разъ. Я все больше дома занимаюсь дѣлами.

Суд. Неужели вы ихъ читаете? При вашихъ многосложныхъ занятіяхъ это обременительно.

Дор. Гдѣ читать! Да и займусь ли я читать этакія громады. Я, вѣдь, бургомистръ! Есть на то секретарь, мы ему, окромя жалованья коронного, деньги съ общества платимъ. Я подписываю больше все журналы.

Суд. Навѣрно и статьи читаете?

Дор. Нѣтъ... куда читать. Читать одну статью мнѣ на недѣлю хватитъ. Пишутъ неразбористо. Нѣтъ, чтобы по церковному писали. Вотъ у меня приказчики такъ научились—крупно пишутъ. Ну, а принесутъ-то не одну статью, а много (*указываетъ руками*) Этакую кипу наваляютъ, ну я и подписываю.

Суд. *(смѣясь)*. А если вы подпишитесь въ такой статьѣ, гдѣ на васъ что-нибудь написано?

Дор. Нѣтъ, дудки! Этого я не допущу. Нѣтъ, я, сударь, хитеръ. Вижу, подписалъ судья, члены и секретарь, мѣсто оставлено послѣ судьи, да написана буква Б, стало мнѣ подписать; я и подпишу, а не подписали всѣ члены, я ни за что не подпишу.

Суд. Все-таки и съ этою предосторожностью легко вамъ подписать то, что противно законамъ. Вамъ все-таки нужно заставлять кого-нибудь прочитывать вслухъ.

Дор. Право! Это, вѣдь, гоже. А теперь все сходило ладно—потому, значитъ, что я вѣдь имъ всѣмъ плачу. И вамъ буду платить. Вы, я вижу, человѣкъ добрый, а я смыслю-то мало, ну и не вводите меня въ обманъ. Они, вѣдь, члены-то наши, всяко валяютъ. Хоть бы въ общемъ собраньи: начнутъ, начнутъ, а и кончатъ ничѣмъ. Все больше я ихъ превосхожу: прикрикну, знаете, ну и замолчатъ. Пусть будетъ по-моему. Было дѣло у насъ, заѣдательное такое. Всѣ ломали голову. Прежній дворникъ купца убилъ. Попался купецъ-то на дорогѣ. Онъ его и хлесть топоромъ по шеѣ, тотъ и душу Богу отдалъ... А я вамъ доложу, дворникъ-то шуры-муры имѣлъ съ женой купца, а та ему фигли-мигли строила. Ты, говоритъ, убей мужа, да и женись на мнѣ. Ну, богатая, да и онъ домъ большой въ деревнѣ пріобрѣлъ. Прошло эдакъ недѣли двѣ, не нашли виновныхъ. Да какъ-то Потаповъ, мѣщанинъ, и разболтался: «я говоритъ, вотъ его видѣлъ, какъ онъ ночью бѣжалъ, въ день убивства, прямо къ женѣ купца. А потомъ, говоритъ, вечеромъ, я подслушалъ, что онъ говорилъ, что де я мужа убилъ, теперь я на тебѣ женюсь». Вотъ и стало дѣло. Потянули дворника, жену—не сознаются; одинъ разъ какъ-то жена созналась; ихъ засадили, голубчиковъ. А она, сударь мой, писать не умѣла, неграмотная была, показанья не подписала, а въ острогѣ выучилась. Шельма-баба! Стали отбирать допросы, она и говоритъ: да я писать умѣю, зачѣмъ вы неправильно отбирали... я никогда ничего не говорила. Вотъ поди и бейся съ бабой. Нарядили временное—судъ виноватъ. Какъ съ ней быть? Спрашиваю я дворника—я, говоритъ, убилъ. Богъ попуталъ; а въ судѣ говоритъ: нѣтъ. Ну судъ и рѣшилъ: кто донесъ—оставить въ подозрѣніи, а кто убилъ—того освободить. Они, вишь ты, сударь ты мой, имъ

деньги давали... Собрали диспутъ. Стали читать рѣшеніе. «Нѣтъ, говорю, врете... Ихъ въ Сибирь надо... Мнѣ что, что наши купеческіе люди». Сбилъ своихъ рокимоновъ—не согласились, да и только. Такая у насъ вышла баталія, любо! Чуть не раздрались. Я протестъ и накаталъ имъ. Михайловъ судейскій накаталъ. Умница башка, только обижаютъ въ судѣ. Онъ у меня сына учитъ... Ну имъ носъ вышелъ изъ палаты, а я и теперь говорю: что, голубчики, съ носомъ остались, аль безъ носа?.. *(смѣясь)* Даромъ, что мужикъ, а тоже маракую въ эвтихъ-то дѣлахъ. Ужъ ни въ жизнь не дамъ потачки. Право!

Суд. *(жметъ руку Дороѳееву)*. Очень радъ слышать отъ васъ такія слова. Радъ, потому, что слышу слово честное только отъ васъ первыхъ. Я даже и не думалъ видѣть здѣсь никого честнаго... Я вижу, вы человѣкъ правдивый, дѣловой, практичный, по своей части.

Дор. Хотя и не такъ-таки дѣловой, а кой-что разумѣю. Вотъ уголовныя дѣла для меня *«блины»*, а гражданскія *«кисліе пермскихъ сиговъ»*.

Суд. *(треплетъ его по плечу)* Не бойтесь, Иванъ Захаровичъ! Гражданскими дѣлами буду завѣдывать я. И можете на меня надѣяться, какъ на себя. Я дѣлаю такъ, какъ велитъ законъ.

Дор. Похвально. Такія рѣчи слушать любо! А вотъ у насъ такъ ой!..

Суд. Что вы?

Дор. *(вздыхая)*. Такъ, ей Богу, такъ. Мы люди темные, но Бога помнимъ... Ну, да дѣло не мое... Я, вѣдь, бургомистръ *(встаетъ)*. Ухъ, засидѣлся. Прощенья просимъ! Къ себѣ милости просимъ въ гости!

Суд. Куда вы? Посидите, мы съ вами пообѣдаемъ.

Дор. Нѣтъ, пора.

Суд. Будьте такъ добры! Степанъ Иванычъ будетъ. Вамъ вѣдь некуда торопиться.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и Мареа Павловна, Ольга и Коля (входя кланяются).

Суд. *(указывая на Мареу Павловну)* Это моя жена. Это дочь, это сынъ. *(Имъ)* Бургомистръ городового магистрата, Иванъ Захарычъ Дороѳеевъ. *(Дороѳеевъ кланяется)*.

Мар. Павл. Очень рада васъ видѣть. Извините, я еще не сдѣлала визитъ вашей супругѣ, потому-что сегодня Павелъ Тимоѳеичъ ходилъ съ визитами.

Дор. Прошу покорно пожаловать завтра; завсегда просто. У меня жена добрая, есть и дочь Марья, шестнадцати годовъ, другая Марья за судьей. А что же мальчика-то вы обучаете?

Мар. Павл. По домашнему. Ольга учитъ по-французски и по-нѣмецки. Хотимъ сперва приготовить дома, а потомъ въ гимназію.

Дор. Такъ. Вотъ бы вы наняли Михайлова, парень славный, племянникъ почтмейстера, да въ судѣ обиждаютъ.

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Навалихинъ (съ бѣлыми волосами, остриженными по-солдатски, въ партикулярномъ сюртукѣ), Тетеринъ (въ форменномъ сюртукѣ), Зиминъ (въ партикулярномъ платьѣ).

Тет. *(Дороѳееву)*. А, Иванъ Захарычъ! Здравствуй, братъ.

Нав. *(Судейкину)*. Уѣздный судья, Карпъ Егорычъ Навалихинъ.

Суд. Очень радъ.

Нав. Извините, вы меня не застали дома, я игралъ вотъ *(указывая на Тетерина)* съ нимъ въ карты, и какъ пришелъ съ нимъ же домой, сейчасъ къ вамъ, а тутъ попался Степанъ Иванычъ *(кланяется Мареѣ Павловнѣ и Ольгѣ)*.

Тет. Почтмейстеръ, Сила Филипычъ Тетеринъ!

Зим. *(дамамъ)* Засѣдатель Зиминъ.

Суд. Очень пріятно.

Нав. Я слышалъ, Павелъ Тимоѳеичъ, что у васъ нѣтъ лошади?

Суд. Да, къ несчастію.

Нав. Да это не стоитъ хлопотъ. Вы вотъ что, сходите къ повѣренному Краснову, онъ вамъ пришлетъ, даже на вовсе дастъ.

Мар. Павл. Это бы еще ничего, а то я не могла найти стряпку хорошую.

Нав. Этого вы вовсе не найдете здѣсь. Вотъ Павелъ Тимоѳеевичъ какъ обскажетъ ему все, такъ у васъ будетъ и стряпка, и кучеръ, и лошадь; все, что хотите.

Тет. Право. Имъ нечего въ зубы-то смотрѣть.

Суд. Пожалуй, я попрошу стряпку, условлюсь съ ней о платѣ, а лошади не надо.

Нав. Вотъ еще, плата! У меня шесть лѣтъ кучеръ, дворникъ, стряпка и горничная живутъ безъ платы. Они обязаны и такъ...

Суд. Ну, этого я не хочу.

Тет. Да, вѣдь, онъ стряпку и кучера въ счетъ не поставитъ. Вотъ у меня тоже кучеръ и лошадь съ вольной почты, а вольная почта платитъ исправно.

Нав. Еще бы! Они обязаны намъ.

Суд. *(Мареѣ Павл. и Ольгѣ)*. Закуски и водки.

(Мареа Павловна, Ольга и Коля уходятъ; Мареа Павл. приноситъ скатерть, стелетъ на столъ; Ольга приноситъ пирогъ, тарелки, а Коля три бутылки вина. Между тѣмъ, говорятъ).

Тет. Ну, какъ, любезнѣйшій Иванъ Захаровичъ, поживаешь?

Дор. Ничего. Живемъ помаленьку.

Нав. У меня Анна ужасно много грибовъ насбирала.

Зим. Нынѣ много ихъ, всякихъ.

Нав. Она говоритъ, что хоть лопатой греби. Да! Павелъ Тимоѳеевичъ, губернаторъ скоро будетъ сюда?

Суд. Онъ еще не пріѣхалъ?

Тет. Ну, я вамъ говорилъ. Эхъ вы, головы! Такъ онъ вамъ съ неба и падетъ.

Нав. Ну, слава Богу, а то стряпчій намъ покоя не даетъ. «Право, господа, губернаторъ ѣдетъ, такой строгій, ужасъ»! У васъ былъ Чуроховъ?

Суд. Былъ.

Нав. Я вамъ рекомендую, какъ дѣльнаго человѣка.

Тет. Какъ плута.

Суд. Я въ немъ не замѣтилъ дѣльнаго. Это плутъ.

Зим. и Тет. Браво!

Тет. Такой плутъ, за носъ судью водитъ. Такъ ли, г. бургомистръ?

Дор. Вѣрно!

Нав. Напрасно, господа...

Суд. Такихъ людей, какъ Чуроховъ, я давно бы выгналъ въ отставку.

Тет. Именно такъ.

Зим. *(Дороѳееву).* Каковъ!

Дор. Такъ и колетъ напрямикъ.

Зим. Любимецъ судьи. Для меня онъ ничего.

Суд. Пожалуйте, господа. Вино еще оттуда.

Нав. Поди, купленное?

Суд. Да.

Нав. Ну, здѣсь ведро водки будете получать, пива, меду, даромъ [1]).

Суд. Я думаю, лучше брать за деньги.

Тет. *(смѣясь).* Что вы! Да это гдѣ видано. *(Садятся за столъ).*

Суд. Господа, извините, что угощеніе очень просто. Чѣмъ Богъ послалъ.

Дор. Ладно, Павелъ Тимоѳеевичъ, вѣдь, недавно пріѣхалъ *(пьетъ вино и идетъ съ тарелкой въ уголъ).*

Нав. И полноте. Мы шли только васъ поздравить.

Тет. Ну, про нашего губернскаго почтмейстера не слышно? *(Пьетъ).*

Суд. Ничего не слыхалъ.

Тет. Такая скотина, сердится на меня за что-то. Уберу, пишетъ. Денегъ надо послать.

Нав. Ну и пошлешь. А что, сыграемъ развѣ?

Тет. Я не прочь, вотъ Степанъ Ивановичъ.

Зим. Пожалуй.

Нав. По копейкѣ хоть. Павелъ Тимоѳеевичъ не откажется.

Суд. Извините, я вовсе не игрокъ.

Нав., Тет. и Зим. *(наливаютъ по рюмкѣ).* Съ пріѣздомъ? *(пьютъ).*

Дор. *(смѣясь).* Экіе черти, подавиться бы вамъ: мнѣ и не налили, а я еще въ формѣ...

Конецъ второго дѣйствія.

---

[1]) Во время существованія откуповъ всѣ чиновники получали отъ откупщиковъ опредѣленное жалованье деньгами и натурой.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Комната 2 дѣйствія.

ЯВЛЕНІЕ I.

Мареа Павловна, Ольга и Коля *(обѣдаютъ. Судейкинъ въ форменномъ сюртукѣ ходитъ по комнатѣ).*

Мар. Павл. Что же ты ничего не ѣшь?

Суд. *(съ сердцемъ).* Да не досажай ты мнѣ!

Ольга. Папаша, хоть молока.

Суд. Ну, молока стоитъ! Чортъ знаетъ, что такое!.. Что это такое за судъ! Сегодня ровно мѣсяцъ, какъ я занимаюсь въ судѣ... Ну ужъ судъ,— на что онъ и походитъ! Съ виду-то еще ладно, а внутри такъ лучше бы и не заходилъ—кабакъ! Хаосъ, шумъ, крикъ, стукотня, драка! Ну на что это похоже! Столоначальники пьяницы, писцы невѣжи, со скверными рожами, ходятъ въ лохмотьяхъ... Ахъ ты Господи! А полъ-то, нечистота какая... гадость! Я бы сказалъ сторожу мыть полъ хоть разъ въ мѣсяцъ; «денегъ, говоритъ, расходчикъ не даетъ». Я говорю судьѣ. А онъ: ничего, говоритъ, ладно и такъ. Я говорю: надо бы стѣны побѣлить, клеенокъ положить на столъ, купить песочницы, а онъ: «давайте намъ своихъ денегъ». Я взялъ у расходчика книгу, смотрю: ну волосы дыбомъ! Два раза въ мѣсяцъ полы моютъ въ судѣ, рубль за это платятъ женѣ сторожа, стѣны бѣлили къ Пасхѣ! Каждый мѣсяцъ двѣ сажени дровъ на двѣ печки суда покупаются, и то теперь лѣтомъ, когда вовсе печки не топятъ. Два пуда свѣчей каждый мѣсяцъ покупаютъ, а вовсе даже теперь вечеромъ не занимаются, а съ огнемъ и подавно. Да 2-хъ пудовъ и зимой не выйдетъ! Пять стопъ бумаги, а писцы часто сидятъ безъ бумаги; расходчикъ даетъ каждому по листу и по два листа, дюжина карандашей, а карандашей вовсе нѣтъ... И все это куплено пять дней и росписки есть... и ничего нѣтъ... Я говорю судьѣ: расходчикъ воръ и плутъ. А онъ: «это не ваше дѣло, со своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходите. Вы, говоритъ, не ревизоръ!» Эдакій славный монастырь. Ха, ха, ха! Каково? *(Всѣ встаютъ изъ-за стола. Судейкинъ пьетъ стаканъ молока и закусываетъ. Ольга уноситъ со стола и возвращается. Коля играетъ деревяннымъ конемъ, возитъ его по комнатѣ за веревочку).*

Мар. Пав. А намъ что за дѣло!

Суд. Конечно, тебѣ тутъ дѣла нѣтъ, а мнѣ есть. Мнѣ больно это видѣть.

Мар. Павл. Я бы на все это плюнула!

Суд. *(машетъ рукой).* Ужъ лучше бы молчала!

Мар. Павл. Ты вотъ хочешь себя сдѣлать выставкой, не знаю чего— честности или лицемѣрія. Смотрите-де, какой я гусь! *(Судейкинъ съ сердцемъ ходитъ по комнатѣ).*

Ольга. Какое у васъ, мамаша, сердце! Вѣдь, это очень гадко даже слушать, а каково все это увидать, да узнать плутни, перечувствовать.

Мар. Павл. Послушай, Ольга, я не знаю, съ

чего ты вступаешься за своего отца? Тебѣ тутъ какое дѣло? Ужъ не болѣе ли ты моего знаешь? Я, кажется, дѣлами палатскими ворочала, сюда его перевела, на теплое мѣстечко... а онъ вотъ какія штуки отливаетъ! Ужъ ты бы молчала, коли ничего не знаешь... Ты не смѣй его сбивать съ толку.

Суд. Послушай, Марѳа Павловна, ты меня выводишь изъ терпѣнія!

Мар. Пав. Ужъ не драться ли хочешь со мной? Спасибо!

Ольга. Маменька, позвольте мнѣ защищать папу, насколько я умѣю. Вы мнѣ не запретите, потому что я, кажется, ему дочь, такъ же, какъ и вамъ... Папа мнѣ ближе всѣхъ, и каждое его горе отзывается на мнѣ.

Мар. Павл. (*съ сердцемъ*) Молчи!

Ольга. (*твердо*). Никогда! Я не понимаю, наконецъ, какъ это у васъ достаетъ духу говорить въ родѣ того: смотри, какъ обманываютъ, учись, плутуй...

Мар. Павл. Еще поговори!

Ольга. И буду говорить! Васъ послѣ не спросятъ, потому что вы не служите, да и все-таки женщина, а потянутъ вашего мужа! Какъ прекрасно, мамаша, какъ вашего мужа будутъ водить солдаты, а мы будемъ плакать... (*плачетъ*).

Суд. (*растроганнымъ голосомъ*) Марѳа Павловна, неужели ты не понимаешь?

Мар. Павл. Ты сообрази то: хорошо ли рѣзаться съ судьей? Вѣдь онъ твой начальникъ.

Суд. (*махнувъ рукою*). Съ тобой не стоитъ говорить, коли ты ужъ такая; коли ужъ ты не понимаешь! Ты пойми, что такое плутъ! Развѣ обмануть по службѣ хорошо? Украсть казенныя деньги не воровство? Да и притомъ, если знаютъ всѣ... Вѣдь, это явное, матушка, мошенничество... подлость... Ну неужели ты хочешь этого?

Мар. Павл. Я говорю, что надо быть поскромнѣе съ судьей.

Суд. Да я сказалъ ему слегка. Послушай дальше. Сидимъ мы въ присутствіи. Вдругъ приходитъ въ присутствіе Чуроховъ и зоветъ меня рукой. Вотъ какая скотина! Онъ меня за панибрата сталъ считать. Я смотрю ему въ глаза. Судья улыбнулся и говоритъ: васъ надсмотрщикъ зоветъ. Я всталъ; Чуроховъ увелъ меня въ свою комнату и даетъ 25 рублей. Пожалуйста, говоритъ, молчите, а самъ улыбается, самъ улыбается! Я вхожу въ присутствіе съ Чуроховымъ, говорю судьѣ, а онъ меня же и осмѣялъ: нечего, говоритъ, капризничать, возьмите. Ну, я погорячился. Сегодня вдругъ получаю изъ губернскаго выговоръ...

Ольга и Мар. Павл. Выговоръ!

Суд. Что я лѣнивъ, хожу на службу рѣдко!

Мар. Павл. (*съ сердцемъ*). Какъ! Кто это смѣлъ?

Суд. Да такъ, получилъ выговоръ, смѣли вѣрно.

Мар. Павл. Что же ты мнѣ раньше не говорилъ о доносѣ?

Суд. До сихъ поръ я ничего не зналъ.

Мар. Павл. (*съ сердцемъ*). Да я сейчасъ все дяденькѣ напишу! Ихъ всѣхъ уберутъ! Доносъ на моего мужа! Вотъ, прекрасно!

Суд. Не безпокойся. Твой дяденька уволенъ въ отставку губернаторомъ. Вотъ, читай, пишетъ мой другъ Петровъ, а вотъ и «Губернскія Вѣдомости». Утѣшься! (*Отдаетъ ей письмо и вѣдомости*). Теперь некому хлопотать. (*Ходитъ молча по комнатѣ; Ольга плачетъ; Коля, бросивъ по серединѣ комнаты коня, стоитъ около Ольги, обнявъ ее одною рукой. Марѳа Павловна читаетъ*).

Мар. Павл. (*садясь на стулъ*). Скверно дѣло-то наше! Теперь я безъ рукъ! Ахъ, мой дяденька! Чтобы этому губернатору... Этакой, вѣдь, чортъ, прости меня Господи!.. Честныхъ любитъ!.. Осмѣлился сказать моему дядюшкѣ: подавайте въ отставку, а тотъ и подалъ. Нѣтъ, видно, не однимъ намъ горе мыкать!

Суд. (*помолчавъ*). Въ отставкѣ я долженъ буду пропитываться прошеніями. Я долженъ буду хитрить для того, чтобы мнѣ больше дали:—обманъ... все то же! Служить! Я не могу... Господи, что дѣлать?

Ольга. Папаша, какъ ни горько наше положеніе, но, мнѣ кажется, что изъ него еще можно выйти. Вашъ другъ пишетъ, что губернаторъ ненавидитъ тѣхъ, кто нечестенъ. Напишите ему, что васъ притѣсняютъ за честность, что вамъ нельзя служить. Пусть нарядятъ слѣдствіе, увидятъ, кто правъ, кто виноватъ—судъ или вы. И тогда пусть васъ переводятъ отсюда, хоть въ губернское правленіе.

Мар. Павл. Написать на нихъ губернатору! Сейчасъ же я ихъ опишу!.. погодите, соколики! Вы забылись здѣсь!

Ольга. А какъ отправимъ?

Мар. Павл. Какъ отправимъ? Почтмейстеръ плутъ, скрадетъ, передастъ...

Суд. Я ужъ объ этомъ думалъ. Почтмейстеръ мнѣ давнишній знакомый, но я на него не надѣюсь. Я надѣюсь на его племянника, онъ у меня въ столѣ сидитъ. Этотъ господинъ одинъ лучше всѣхъ въ судѣ. Водку не пьетъ, дѣло знаетъ хорошо и терпѣть не можетъ Чурохова и судью. Поэтому онъ мнѣ понравился больше всѣхъ. Ему я отдамъ донесеніе губернатору, и онъ отправитъ.

Ольга. Да онъ скрадетъ, не отправитъ?

Суд. Онъ семинаристъ и честенъ; здѣшнихъ служащихъ онъ ненавидитъ, даже смѣется надъ своимъ дядей. Да я думаю на время поручить ему учить сына грамматикѣ, да кое-какимъ предметамъ. Онъ человѣкъ бѣдный; получаетъ жалованье 3 руб. серебромъ, дядя ему ничего не даетъ, а онъ же ему платитъ 5 руб. Онъ регентомъ здѣшнихъ пѣвчихъ, да учитъ у Дороѳеева сына. Вотъ чѣмъ и живетъ. Мнѣ жаль парня, и хочется помочь.

Ольга. Да можетъ ли онъ учить Колю?

Суд. Посмотримъ.

Мар. Павл. Ты, кажется, рехнулся въ умѣ-то. Самого выгоняютъ, а онъ заботится о какой-то дряни Ну, виданное ли дѣло, своего подчиненнаго

служащаго брать въ учителя своему сыну... Да смыслитъ ли онъ чему-нибудь учить-то?

Суд. Это ты увидишь, какъ онъ будетъ учить. Онъ учился въ философіи, знаетъ лучше всѣхъ грамматику, да и умнѣе, по крайней мѣрѣ, всѣхъ въ судѣ. Что же мы не обучимъ Колю,—хорошо, что ли? Тебѣ учителей надо изъ училища. Да они запросятъ 15 руб...

Мар. Павл. Да, ужъ учителя здѣшніе, видѣла я ихъ. А все же учитель бы пригляднѣе.

Суд. Какъ знаешь. Ему я назначу плату 5 руб. Ольга будетъ учить французскому и нѣмецкому языкамъ, и онъ, пожалуй, будетъ учить латинскому...

Мар. Павл. Ты о доносѣ-то сперва подумай!

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Михайловъ. (Ольга, Коля и Мареа Павловна уходятъ).

Суд. Здравствуй, Михайловъ.

Мих. (*неловко кланяется*).

Суд. Ну, какъ твой дядюшка?

Мих. Теперь ничего. Сталъ выходить въ конгору.

Суд. Ну, а ты ладно отправилъ почту?

Мих. (*улыбаясь*). Мнѣ ужъ не привыкать отправлять за дядюшку. Вчера дѣлалъ наборъ: принималъ письма, росписки, деньги, а сегодня почту отправилъ.

Суд. А росписки въ пріемѣ денегъ?

Мих. Сегодня дядя подписалъ...

Суд. Что же, губернская контора не знаетъ, что ты, такимъ образомъ, исправляешь должность почтмейстера?

Мих. Городъ нашъ далеко, и знать ей нельзя. А здѣсь это ничего. Почтовую контору здѣсь какъ-то мало сравниваютъ съ другими присутственными мѣстами. Въ судѣ у насъ всѣ члены ходятъ въ формѣ, а дядя мой принимаетъ письма и отправляетъ почту часто въ халатѣ.

Суд. Ха, ха, ха!

Мих. Контора въ квартирѣ дяди; а для корреспондентовъ все равно, въ чемъ бы ни былъ почтмейстеръ, кто бы ни отправилъ письмо, лишь бы было отправлено да получено исправно.

Суд. Посиди немного, я сейчасъ. (*Уходитъ въ кабинетъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Михайловъ (одинъ).

Мих. Не знаю, садиться или нѣтъ. Вѣдь эти господа сначала льстятъ, садятъ на стулья, случается еще подсядутъ къ тебѣ съ папироской или сигарой, а потомъ надъ тобой же и издѣваются. Нѣтъ, лучше постою. Я, вѣдь, канцелярскій служитель! Это, вѣрно, дочь Судейкина? А хороша, не даромъ говорятъ, что хороша. Не даромъ Чуроховъ интересуется ею, а Зиминъ часто ходитъ къ нимъ. Я думаю, есть деньги, вѣдь служилъ въ палатѣ. Какъ хорошо! Какой пріятный голосъ! Вотъ, эта жена Судейкина какая-то чопорная. Съ виду не нравится. Я удивляюсь, отчего это я робокъ, когда бываю въ присутствіи такихъ прекрасныхъ дѣвушекъ, женщинъ, а еще служаки попрекаютъ меня женщинами... Однако, я не понимаю, для чего это Судейкинъ пригласилъ меня сюда. Вѣроятно, что-нибудь переписать. Вотъ она, участь-то наша! Въ судѣ надаютъ тебѣ такую кучу дѣла, пиши, переписывай съ необтесанной, гадкой работы набѣло, десять разъ переписываешь одно и то же, а тутъ еще: «Михайловъ, зайдите ко мнѣ»! Хоть вѣжливо, по крайней мѣрѣ, а то, у насъ, все ты, да ты. Такая участь наша канцелярская. Какъ ты поступилъ въ эдакой городишка канцеляристомъ, сталъ канцелярскою машиной, такъ ты имъ и умрешь, потому что ты бѣденъ, пишешь хорошо, переписываешь чисто.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Михайловъ, Мареа Павловна и Судейкинъ (изъ кабинета).

Суд. (*Мих.*). Что же ты не садишься, братецъ!

Мих. (*про себя*). Какая вѣжливость! (*Суд.*) Благодарю (*садится*).

Суд. Не знаешь ли, что было въ судѣ, какъ я ушелъ сегодня?

Мих. (*про себя*). Вотъ зачѣмъ онъ звалъ! (*Суд.*) Павелъ Тимоѳеевичъ, я боюсь сказать. Быть-можетъ, вы скажете судьѣ, меня прогонятъ изъ суда.

Суд. Тебя? За что? Я не изъ тѣхъ людей, чтобы дѣлать кому-нибудь вредъ.

Мих. Какъ вы ушли, судья долго шептался съ Чуроховымъ, по уходѣ его я видѣлъ, какъ Чуроховъ писалъ на васъ рапортъ въ губернское правленіе, чтобы васъ убрать изъ суда, потому что вы не годны въ судѣ. Что вы не трезвую ведете жизнь.

Суд. Правда?

Мих. Да.

Мар. Павл. Кто же это написалъ?

Мих. Написалъ Чуроховъ, а подписалъ судья, засѣдатель и секретарь.

Суд. Еще хуже! Что я стану дѣлать?

Мар. Павл. (*съ сердцемъ Суд.*). Вотъ, вѣдь, ты что надѣлалъ! Ахъ, Боже мой!

Суд. Это чортъ знаетъ, что такое выходитъ. Доносъ отправленъ?

Мих. На почтѣ еще лежитъ.

Суд. Постушайте, Михайловъ, вы, я думаю, какъ человѣкъ честный, больше прочихъ видите—правда ли все то, что на меня писалъ раньше и теперь написалъ судъ. Скажите мнѣ прямо, какъ вы меня находите?

Мих. Я нахожу, что вы человѣкъ честный, какого только и надо въ судѣ, за честность васъ и ненавидятъ судья, секретарь и Чуроховъ. Послѣдній васъ ненавидитъ больше. Да пусть спросятъ всѣхъ служащихъ про васъ, всѣ скажутъ, что вы честный и добрый человѣкъ, всегда ходите въ судъ, что все на васъ написанное—клевета!

Суд. *(тихо Михайлову)*. Вотъ что, братецъ, нельзя ли этого рапорта не отправлять?

Мих. Павелъ Тимоѳеичъ, для васъ по службѣ и въ чемъ другомъ я готовъ сдѣлать все, что угодно, но, чтобы не отправить рапорта присутственнаго мѣста,—я не могу. Это будетъ противъ службы. Положимъ, мы грѣшимъ и больше, но изъ-за этого рапорта я могу попасть подъ судъ. Теперь знаютъ всѣ, что я у васъ; за мной слѣдятъ, завтра будутъ спрашивать, зачѣмъ я былъ у васъ *(кланяется)*. Нельзя ли меня уволить?

Суд. *(съ отчаяніемъ)*. Такъ что же я стану дѣлать?

Мар. Павл. Эхъ совѣсть, совѣсть! На какія ужъ штуки ты пускаешься! Великая штука выговоръ, доносъ! Мы докажемъ себя, что значитъ быть честнымъ человѣкомъ. Вотъ что, господинъ Михайловъ, мы вамъ хотимъ помочь, помогите пожалуйста намъ; вы видите, въ какомъ мы теперь положеніи?..

Мих. Все, что только можно сдѣлать съ моей стороны,—я сдѣлаю.

Мар. Павл. Вы можете приготовить мальчика для поступленія въ гимназію?

Мих. Не хвастаясь, могу сказать, что я сына здѣшняго бургомистра приготовляю всего полгода и увѣренъ, что онъ у меня понялъ больше, чѣмъ бы онъ понялъ въ училищѣ въ два, три года.

Суд. Дороѳеевъ мнѣ васъ хвалилъ. Да и я васъ видалъ еще тамъ. Вашего дядю я знаю давно, онъ васъ хвалитъ, только жаль, что онъ держитъ васъ такъ жестоко. Здѣсь, въ судѣ, я въ васъ замѣтилъ добросовѣстность. У меня есть до васъ просьба. Я хочу приготовить своего сына, котораго вы видѣли здѣсь, во второй или третій классъ гимназіи, а здѣсь приготовить, кажется, некому; хоть и могутъ приготовить учителя училища, но они возьмутъ дорого.

Мих. Я очень радъ вашему предложенію и, если вамъ угодно будетъ сдѣлать меня домашнимъ учителемъ, то я постараюсь оправдать ваше довѣріе; вы останетесь мною довольны.

Суд. Много ли же вы возьмете?

Мих. Я вамъ этого не могу сказать раньше того, чего я еще не сдѣлалъ. Я готовъ вамъ и такъ служить.

Мар. Павл. Ну, полноте! Такъ-то служатъ только здѣшніе господа. Мы вамъ назначимъ плату 5 рублей сер. въ мѣсяцъ. Извините, вы видите, мы живемъ только однимъ жалованьемъ.

Мих. Помилуйте, мнѣ эта плата кажется даже большою. Я очень благодаренъ вамъ *(кланяется)*.

Мар. Павл. Прежде всего, не въ службу, а въ дружбу, сослужите намъ въ немногомъ?

Мих. *(кланяется)*. Съ полнымъ удовольствіемъ.

Мар. Павл. Отправьте, пожалуйста, пакетъ къ губернатору, если только можно такъ, чтобы ни въ судѣ не знали, не зналъ и вашъ дядюшка.

Мих. Извольте. Это для меня ничего не значитъ. Я самъ запишу пакетъ въ реестръ и самъ закупорю постпакетъ.

Мар. Павл. Будьте такъ добры.

Суд. Пожалуйста, Михайловъ! Я васъ не забуду.

Мих. *(кланяясь)*. Помилуйте!

Суд. А какъ васъ звать?

Мих. Михайло Иванычъ.

Суд. *(въ комнаты)*. Коля!

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и Коля.

Суд. *(Мих.)*. Вотъ вашъ ученикъ. Коля, это твой учитель, Михайло Иванычъ. Смотри, слушайся, учись хорошенько. Михайло Иванычъ, посидите пожалуйста съ Колей, позаймитесь съ нимъ. Я покамѣстъ приготовлю донесеніе, а потомъ будемъ пить чай *(уходитъ въ кабинетъ съ Марѳой Павловной)*.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Михайловъ и Коля.

Мих. Вы, Николай Павловичъ, учили что-нибудь?

Коля. Читать и писать умѣю, по-французски учусь.

Мих. Прекрасно. Что же вы желаете учиться? напримѣръ, учить грамматику, исторію и географію?

Коля. Какъ же.

Мих. Потрудитесь принести мнѣ какую-нибудь книгу. Мы съ вами что-нибудь прочитаемъ на первый разъ.

Коля. Хорошо-съ *(убѣгаетъ въ комнату)*.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Михайловъ (одинъ).

Мих. Какой случай! Изъ-за отправки доноса на Судейкина попасть къ нему въ домашніе учителя. Вотъ что значитъ жить у дядюшки почтмейстера, по милости котораго я часто отправляю письма. Сначала я думалъ, что Судейкинъ дастъ мнѣ что-нибудь переписывать или будетъ что-нибудь эдакъ выпытывать, а онъ пригласилъ меня въ учителя своему сыну, у котораго сестра красавица, про которую всѣ говорятъ, что она умна и горда, что выйдетъ замужъ за Зимина, и которую я узнаю, быть можетъ, больше всѣхъ. А какъ хорошо будетъ, если я буду съ ней говорить, она будетъ слушать мои лекціи. Учитель! Ну, я постараюсь здѣсь быть какъ должно учителемъ, приготовляя своего ученика. Впрочемъ... Однако... Что, если Судейкинъ выбралъ меня въ учителя на одинъ, на два дня. Какъ я отправлю доносъ отъ него, онъ и скажетъ: ну-ка братецъ, Михайло Иванычъ, я самъ хочу учить Колю... Пожалуй! Да нѣтъ, онъ человѣкъ честный. А какъ я радъ! Господи! Будто я получилъ какую награду. Учитель! Теперь уже четыре должности у меня: канцелярскій служитель, регентъ, почтмейстеръ и учитель. Отовсюду деньги—много ли—рублей пятнадцать... Можно жить теперь. Спасибо, Павелъ Тимоѳеичъ. Жаль только, что тебя обижаютъ; видно, что ты честный чело-

вѣкъ.—*(Печально)*. Но какъ же сочиненія? О, неужели я буду принужденъ ихъ бросить? Нѣтъ, я буду ночи сидѣть, а не брошу моихъ милыхъ сочиненій. А что, если бы этихъ должностей у меня не было? Поневолѣ я былъ бы плутомъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Михайловъ и Коля (съ книгой).

Коля. Вотъ-съ басни Крылова.

Мих. *(перебираетъ листы)*. Вотъ прочитайте эту: «Крестьянинъ и разбойникъ». Поймите хорошенько, что вы прочитали, и разскажите. *(Коля уходитъ въ уголъ и читаетъ; Михайловъ садится къ окну. Про себя)*. Какъ я радъ, что нашелъ хоть одного честнаго въ судѣ: и это тотъ Судейкинъ, у котораго я буду учить его сына, который будетъ потомъ учиться въ гимназіи, кончитъ, можетъ быть, курсъ въ университетѣ.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и Ольга (входитъ съ книгой и садится къ столу).

Мих. *(про себя, не замѣчая Ольги)*. Окончитъ курсъ, опредѣлится сюда судьей... а я—все тотъ же или столоначальникъ. Пятнадцать лѣтъ на службѣ, безъ чина или подъ судомъ. Обслужился, обжился... обросъ какъ камешекъ травой... И этотъ Коля—Николай Павловичъ Судейкинъ, на меня и смотрѣть не будетъ...

Ольга *(про себя)*. Бѣднякъ! И онъ задумался о чемъ-то. О чемъ? Быть можетъ, о своей службѣ, жизни, о своей бѣдности... Какъ жаль мнѣ этихъ бѣдныхъ людей. Въ трудахъ и заботахъ проходятъ ихъ дни за днями. Положимъ, онъ теперь честный, но надолго ли? Не получивъ хорошаго образованія, канцеляристомъ онъ такъ и заглохнетъ. Быть можетъ, женится... въ тягость себѣ и своему семейству. Умирая, скажетъ дѣтямъ: служите, какъ и я. И служатъ дѣти, какъ и онъ. Грустно! Сколько тайной скорби, сколько мученій, борьбы съ собой у этихъ людей. Еще того хуже быть умнымъ, развитымъ, честнымъ... Ужъ лучше не служить такимъ въ судахъ. Нѣтъ, трудно сдѣлаться честнымъ, еще труднѣе быть честнымъ! *(Къ Михайлову)*. Михаилъ Ивановичъ, позвольте васъ спросить: вамъ почтмейстеръ какъ приходится, дядя?

Мих. *(вздрагивая)*. Почтмейстеръ? Онъ мнѣ сродный по родной теткѣ.

Ольга. Вашъ отецъ кто былъ?

Мих. Дьячекъ. Матери я лишился, когда мнѣ было три года отъ рожденія, а отца—8 лѣтъ.

Ольга. А братья и сестры есть?

Мих. Никого.

Ольга. Вы гдѣ обучались?

Мих. Въ семинаріи. Я учился до 19 года, когда была у меня возможность, когда я былъ пѣвчимъ, и помогалъ мнѣ дядя, единственный только родственникъ. Я учился годъ въ философіи, но болѣзнь лишила меня возможности быть пѣвчимъ, дядя уѣхалъ сюда и не сталъ давать денегъ, и я долженъ былъ выйти изъ семинаріи. Какъ ни горько, что я не кончилъ курса, но, что дѣлать, такъ Богу угодно.

Ольга. Давно на службѣ?

Мих. Въ сентябрѣ будетъ второй.

Ольга. А до чина сколько лѣтъ?

Мих. *(вздыхая)*. Еще 14 лѣтъ.

Ольга *(удивляясь)*. Какъ много!

Мих. Такія ужъ права мнѣ судьбой предназначены: канцелярскій служитель 3-го разряда получаетъ чинъ черезъ 16 лѣтъ.

Ольга. Вамъ здѣсь скучно?

Мих. Такъ скучно, что и не знаю, какъ бы убраться отсюда. Я выросъ въ губернскомъ городѣ. Только при одномъ воспоминаніи о гуляньяхъ, объ удочкахъ, катаньи въ лодкахъ, о караванахъ барокъ, на которыхъ плыветъ весной множество разныхъ племенъ, пѣсняхъ бурлаковъ, прогулкахъ за рѣкой, которыхъ здѣсь вовсе нѣтъ, становится грустно, тяжело и невыносимо.

Ольга. Какое же здѣсь развлеченіе можно найти?

Мих. Здѣсь лѣтомъ съѣздить въ поле, напиться чаю, сходить по грибы въ лѣсъ, а зимой по вечерамъ—играть съ кѣмъ-нибудь въ преферансъ. Здѣсь, въ этихъ старинныхъ домахъ, живутъ люди стариннаго покроя, съ старинными убѣжденіями, зато живутъ патріархально, какъ въ былое время.

Ольга. Это я замѣтила съ перваго раза и вотъ теперь все еще не могу привыкнуть: губернскій городъ такъ и мелькаетъ передо мной. Что же дѣлать, если мы судьбой назначены жить въ этихъ мѣстахъ. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, можно жить свободно, но только заглохнуть. И какъ подумаешь, вѣдь, надо же жить кому-нибудь, на то и городъ...

Мих. Жить въ одиночествѣ очень скучно; знакомиться, пожалуй, можно со многими, можно и дружиться съ ними, но, повѣрьте, всѣ они вамъ наскучатъ, надоѣдятъ. Эти рутинисты не поймутъ вашихъ словъ, будутъ вамъ хлопать глазами, поддакивать, пожалуй, уважать васъ, и только; дай Богъ, чтобы еще уважали, а то будутъ смѣяться. Жить съ ними—нужно непремѣнно совсѣмъ преобразовать себя: быть такимъ же, какъ и они. Если же они васъ не поймутъ, что очень вѣроятно, то плохо, очень плохо жить. Съ волками жить,—нужно по-волчьи и выть. Вотъ я въ два года всѣмъ сдѣлался противенъ въ судѣ, всѣ меня ненавидятъ, а отчего? Оттого что не понимаютъ моихъ убѣжденій.

Ольга. Вамъ трудно здѣсь жить?

Мих. Вамъ трудно, можетъ-быть, понять всѣ чувства мои, желанія; вамъ, можетъ-быть, покажется страннымъ и смѣшнымъ, что я не могу здѣсь служить. Я съ самаго дѣтства ненавидѣлъ уѣздный судъ. И что же? Судьба, какъ нарочно, толкнула меня въ этотъ хаосъ. Съ перваго раза я увидалъ, что народъ далеко необразованъ, у всѣхъ грубое обращеніе, обманъ, жестокость; я понялъ, что мнѣ трудно будетъ съ ними свыкнуться... Я боюсь даже вамъ говорить все, потому что васъ не знаю. Но я вижу, что вамъ можно говорить то, чего не

понимаютъ наши служащіе: выругавъ другъ друга, они не понимаютъ, что выругали другъ друга; обидѣли кого-нибудь,—и ихъ трудно убѣдить, что они обидѣли; обманувъ по службѣ, сдѣлавъне честно, противъ совѣсти и убѣжденія, они думаютъ, что сдѣлали хорошее дѣло, потому хорошее, что они, вѣдь, получили деньги, хотя и силой просили, заставляли ждать, кланяться, молиться... Да! Вамъ трудно понять то зло, которое они дѣлаютъ потому, что они бѣдны: жалованье ихъ мало; надо жить: вѣдь у другого есть семейство, вотъ они и сбираютъ трудомъ, потомъ, кровью, которые все-таки не честное труженичество, а только зло. Хорошо бы еще, если бы деньги копились, а то проживаются при первомъ удобномъ случаѣ. Такимъ-то образомъ, они каждый день выискиваютъ этого труда сами для себя, а сама по себѣ служба здѣсь очень легка... Положимъ, я получаю три рубля, у меня есть другія возможности къ существованію, но мнѣ горько видѣть, что тамъ, гдѣ я служу, дѣлается обманъ; тамъ, гдѣ бы долженъ быть правый судъ, напротивъ, зло ближнему...

Ольга. Мнѣ такъ говорилъ и папаша. Вы бы просились въ губернскій городъ.

Мих. Да, я изыскиваю всѣ средства перейти туда, но не знаю. Чтобы попасть туда, нужна протекція, нужны деньги. Если бы у меня были такіе родственники, у которыхъ были бы друзья, то меня бы перевели; если нѣтъ, я могу перейти только за деньги. Городъ—это такое мѣсто, куда не пускаютъ крестьянина въ грязныхъ лаптяхъ. Безъ денегъ тамъ, куда ни сунься, вездѣ покажутъ двери. Я ѣздилъ нынче въ апрѣлѣ, обходилъ всѣхъ главныхъ личностей, но вездѣ съ крикомъ получалъ отвѣтъ—мѣста нѣтъ.

Ольга. Намъ пишутъ, что новый губернаторъ честный человѣкъ. Вы попроситесь у него, какъ онъ будетъ здѣсь.

Мих. Не знаю. Вѣдь, просителей-то нашего брата очень много изъ всей губерніи. *(Колѣ).* Ну-съ, Николай Павлычъ, прочитали?

Коля. Прочиталъ. Крестьянинъ купилъ корову, а у него разбойникъ и укралъ корову и подойницу было хотѣлъ, да отдалъ.

Ольга. Что же, разбойникъ честью сдѣлалъ, Коля?

Коля. Да я бы его каналью... я бы его прибилъ, какъ крестьянинъ былъ.

Мих. Онъ сдѣлалъ какъ разбойникъ и взялъ, конечно, то, что для него болѣе нужно. Подобные примѣры въ жизни очень часты, особенно, въ нашемъ судѣ. Въ баснѣ разбойникъ взялъ корову, а у насъ берутъ не только подойницы, которыя на что-нибудь да пригодятся, а чуть ли не всего крестьянина.

Коля. Какъ это?

Мих. Я не буду говорить о своемъ братѣ; мы, конечно, не можемъ взять чего-нибудь большаго: мы еще учимся брать, мечтаемъ о большемъ. Бываютъ дѣла такого рода, что бѣдный, по гражданскому или уголовному процессу, хотя и правъ, но боится за свою участь; ему говорятъ, что ты проигралъ или ты виноватъ. Онъ продаетъ имѣніе, остается въ одномъ рубищѣ, чтобы дать за свободу. И нерѣдко все-таки проигрываетъ.

Коля. Кто же это дѣлаетъ?

Мих. Вамъ знать это еще рано... Объ этомъ только знаютъ, но молчатъ изъ боязни, или, хотя и говорятъ, да имъ не вѣрятъ.

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Судейкинъ съ Мареой Павл. (выходятъ изъ кабинета).

Мар. Павл. *(тихо Ольгѣ).* Ну, каковъ?

Ольга. Очень хорошій человѣкъ. Этого намъ не нужно отпускать *(уходитъ съ Маре. Павл. и Колей въ комнаты).*

ЯВЛЕНІЕ XI.

Судейкинъ и Михайловъ.

Суд. Ну, что, Коля подаетъ надежды?

Мих. Съ перваго раза видно, что онъ понятливый мальчикъ.

Суд. Мнѣ, Михайло Иванычъ, жаль тебя. Ты такой прекрасный, извини меня, что я обращаюсь съ тобой запросто, ты мнѣ понравился съ перваго раза оттого, что ты, кажется, протестуешь противъ плутней Чурохова.

Мих. Противъ всѣхъ даже. Охъ, Павелъ Тимоѳеичъ, какъ тяжело-то мнѣ служить въ судѣ! Я уже думаю выходить. Пользы мнѣ служба не приноситъ, а до чина еще...

Суд. Ну, потерпи немного. Я буду просить, чтобы тебя сдѣлали столоначальникомъ въ гражданскомъ столѣ. Я напишу объ этомъ губернатору, а ты, между тѣмъ, прочитай гражданскіе законы.

Мих. Очень благодаренъ. Но, извините, столоначальникомъ будетъ хорошо служить только при васъ, а не будетъ васъ, меня прогонятъ.

Суд. Не будетъ... Прогнать не смѣютъ, развѣ подведутъ подъ судъ... Ну, тогда какъ-нибудь надо переходить хоть въ губернское правленіе. *(Въ дверяхъ комнаты показывается Маре. Павл.).*

Мар. Павл. Михайло Иванычъ, пожалуйте сюда. Павелъ Тимоѳеичъ, вамъ не нужны они?

Суд. Нѣтъ. Пожалуйте туда. *(Мих. уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ XII.

Судейкинъ (одинъ).

Суд. Слава Богу, нашелъ себѣ учителя, хоть полъ-мѣсяца проживу, да кой чему научится Коля, да и по себѣ оставлю память. Михайловъ честный парень, только служить ему здѣсь нѣтъ возможности. Только намъ двоимъ съ нимъ горько здѣсь... Михайловъ-то еще поэтъ! Погодите, господа, какъ мы васъ отдѣлаемъ... Погодите. Вотъ тебѣ и засѣдатель! А бери я... какъ бы хороша была служба; теперь бы рублей сотню или двѣ нажилъ. Вотъ какъ бы еще съ откупомъ не связываться. Кажется, дѣлъ нѣтъ, а водки даютъ... Не бралъ я, ну да выпиваю немного... Жена, жена, охъ, она мнѣ

все не даетъ покою... Бой баба... Ей-Богу... Теперь говоритъ: «нѣтъ, Паша, ты прекрасный человѣкъ. Ахъ, ну, будемъ жить честно!» Поумнѣла... Надолго ли только. Итти прочитать, да переписать, что я съ ней насочинилъ... Ужъ отдѣлаемъ ихъ, да еще въ «Сѣверную Пчелу» пошлю!.. Михайловъ посылалъ, говоритъ—пошлемъ... Только я плохой сочинитель: слова какъ-то выходятъ служебныя, тяжелый слогъ, а у него и въ бумагахъ такъ легко... *(Уходитъ въ кабинетъ).*

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Глаголевъ (56 лѣтъ, средняго роста, худой, желтый, волосы небольшіе съ просѣдью; одѣтъ въ черное съ заплатами пальто, на груди видна худая нагрудка, платокъ вмѣсто галстука; въ пимахъ [1]). Постоянно кашляетъ).

Глагол. Нѣту дома-ти видно. Экая горесть; подождать чуточку. Крякнуть разъ? *(крякаетъ и кашляетъ).*

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Глаголевъ и Судейкинъ.

Суд. *(входя и осматривая Глаголева).* Что скажете?

Глагол. *(неловко кланяется и кашляетъ).* Я къ вашей милости, Павелъ Тимоѳеичъ.

Суд. Вижу, что ко мнѣ. Въ чемъ дѣло?

Глагол. Да деньжонокъ нужно бы попросить *(кланяется).*

Суд. Вы кто такой?

Глагол. *(переминаясь съ ноги на ногу).* Архиваріусъ уѣзднаго суда, Глаголевъ-съ.

Суд. Извините, г. Глаголевъ, я васъ еще не знаю... *(беретъ стулъ).* Садитесь пожалуйста.

Глагол. *(кланяется).* Я постою-съ.

Суд. *(садясь).* Ну, полноте; вы, вѣдь, не въ судѣ. Садитесь дѣдъ!

Глагол. *(про себя).* Фу, ты, доброта какая!

Суд. Скажите пожалуйста, что васъ заставляетъ ходить въ пимахъ; вѣдь, еще тепло, и снѣгу нѣтъ?

Глагол. Бѣдность... Охъ, ужъ эта бѣдность-то. Восьмеро дѣтей, все малъ-мала менѣ. Старшему четырнадцатый годъ, хочу въ магистратъ пристроить, а меньшому пятый годъ пошелъ съ весны. Жена... Надо кормить, одежу заводить, а денегъ нѣтъ... А ноги болятъ, пострѣлы... Есть дома сапожишки, да такіе худые, сударь, что иной нищій не возьметъ. А въ пимахъ-то ничего, оно помягче...

Суд. Зимой-то ничего, а лѣтомъ, въ грязь, неловко, поди?

Глагол. Лѣтомъ-ту, въ грязь, я не хожу въ судъ.

Суд. А часто здѣсь грязь бываетъ?

Глагол. Нонѣ дней двадцать было сухихъ.

Суд. *(смѣясь).* И вы все сидѣли дома. Лѣто для васъ хорошій праздникъ?

Глагол. Да, тово оно, дѣла-то немного; придешь все и сдѣлаешь. Я вамъ скажу, Павелъ Тимоѳеичъ, я всѣ дѣла въ архивѣ знаю на перечетъ, потому тридцать лѣтъ въ архивѣ служу. Спросите такое-то дѣло за двадцать пять лѣтъ, сейчасъ найду... Оно бы не бѣдность, такъ бы ходилъ всегда. Скучно дома-то... За груздями разѣ сходишь разъ десятокъ, да я охотникъ удить... Озеро, знаете, есть за шесть верстъ; какъ клюетъ-то!.. Ну, а босой на службу не пойдешь. Нищимъ, сумасшедшимъ назовутъ.

Суд. Много ли вы получаете жалованья?

Глагол. Шесть рублей. Ужъ больше не прибавляютъ, потому-де, что я ужъ старъ, да и не стою... Вотъ какіе обидчики!.. Попробовали бы съ семействомъ пожить... Жена старуха, пріобрѣсть не откуда... Прошлова лѣта и то ужъ ходила въ Петровки сбирать въ деревни... Надавали добрые люди и яицъ, и сметаны, и масла... А теперь вотъ не то. Вѣдь, восьмеро дѣтей, надо кормить... А объ одежѣ-то и не говорите. Самъ-то, тово оно, одѣнешься въ пальтишко, ну жена надѣнетъ чего-нибудь, чуньку какую: надо и на рынокъ за говядиной, за хлѣбомъ сходить, ну, а къ сосѣду или куда за надобностью и въ рубашонкѣ сбѣгаетъ. Свои люди... Лѣтомъ-то вотъ еще туды-сюды—бьешься, ладно... А зимой не приведи Богъ! Двѣ шубенки только, у меня да у жены. Лѣтомъ-то лишней лопоти не нужно, потому тепло; а зимой все больше надо. Холодно, хоть въ кулакъ вой. Хоть и свой домишко-то, изба да горница, а въ злющіе морозы стужа смертная. Дровъ купить не на что; домишко старый, худой такой; вѣтеръ такъ и дуетъ въ щели, и снѣгъ сыплется, а отъ пару съ потолка куржакъ всю зиму такъ и не сходитъ. Потому, значитъ, холодно, надо топить, а дровъ нѣтъ... *(чуть не плача)* денегъ нѣтъ.

Суд. Какъ же вы ночью-то зимой спите?

Глагол. *(улыбаясь).* Привыкли ужъ. Самъ-то я лягу на печь, да еще кое-кто со иной, жена ляжетъ. Печь большая, четверымъ людямъ улечься. Взрослые на полати ложатся, а поменьше въ печку залѣзутъ. *(Смѣясь и плача).* Оно тепло... А настанетъ день, всѣ и сядутъ на полати или на печь... такъ дымно опять...

Суд. Вы бы какъ-нибудь поправили домъ?

Глагол. Думалъ я чинить-то, да все деньжонокъ нѣтъ... Онномедни конопатилъ, да все безъ толку, все холодно... Старый домъ-то... Еще отецъ покойный строилъ.

Суд. Вы бы дѣтей куда-нибудь пристроили.

Глагол. Да кому пристроить-то?.. Здѣсь некуда. Два вонъ въ училище бѣгаютъ, и тутъ опять деньги надо. Третій только пѣвчимъ у меня, да мало носитъ... А такъ, куда?.. Вотъ, думаю въ магистратъ одного... Пишетъ, говорятъ, скверно, рубль хотятъ дать.

Суд. Все хоть рубль, а пристроить не мѣшаетъ. Ну, у васъ, поди, вѣдь, доходы есть?

Глагол. Какіе доходы... Разѣ повѣренный, когда попроситъ сыскать что... Но это какимъ-нибудь рублей пять въ годъ. Какіе ужъ тутъ доходы!

[1]) Валенки.

Суд. Вы бы просились въ отставку. Вамъ, вѣдь, пенсіонъ пойдетъ.

Глагол. *(вынимая берестовую табакерку и нюхая).* Все послужить еще хочется. Вѣдь, дѣла надо будетъ сдавать. Вотъ, говорятъ, льготы выйдутъ, жалованья больше будетъ.

Суд. Очень жаль мнѣ васъ. Не знаю, какъ вамъ пособить...

Глагол. *(вставая и кланяясь).* Нельзя ли, Павелъ Тимоѳеичъ, пособить... Я вѣчно за васъ буду Бога молить. Просилъ и Чурохова, да не даетъ, бестія...

Суд. Не знаю, какъ помочь вамъ... Просить судью за васъ я не могу; вы знаете, въ какомъ я положеніи... Подождите *(уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ XV.

Глаголевъ и Зиминъ.

Зим. *(входя).* А, старина, зачѣмъ ты здѣсь?

Глагол. Пришелъ деньжонокъ попросить.

Зим. Въ судѣ не стало развѣ?

Глагол. Нѣту. Расходчикъ не даетъ.

Зим. Судью бы попросилъ.

Глагол. *(вздыхая).* Просилъ я, да онъ прогналъ меня.

Зим. Ну, а у насъ какія деньги?

Глагол. Павла Тимоѳеича вотъ прошу заступиться.

Зим. Ну ужъ! Онъ теперь самъ защиты искать долженъ.

Глагол. *(не понимая).* Кто это?

Зим. Побольше бы въ судъ ходилъ ты... Ты, братъ, уходи отсюда. А то судьѣ скажу.

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Тѣ же и Судейкинъ.

Суд. *(входя).* А, Степанъ Иванычъ! Я слышалъ, вы доносъ на меня отправили въ губернское правленіе.

Зим. *(заминаясь).* Нѣтъ...

Суд. Ну, полноте! Сознайтесь, пожалуйста. И вамъ не стыдно лгать! А еще друзья!

Зим. *(вздыхая).* Я не хотѣлъ васъ тревожить. Отправленъ.

Суд. Ну, если спросятъ васъ: правда ли все, что написано на меня, что вы скажете?

Зим. Скажу, что ложь.

Суд. Однако, вы подписали, другъ любезный.

Зим. Заставили, хотя и не хотѣлъ.

Суд. Прекрасно! Въ объясненіи вы напишите, что неправда, а васъ спросятъ: зачѣмъ вы подписали *(про себя, идетъ къ дверямъ въ комнаты).* Нѣтъ, братъ, это вѣдь не со словъ столоначальника резолюцію писать въ настольномъ.

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Тѣ же и Мароа Павловна съ Ольгой.

Мар. Павл. Батюшки, чучело въ пимахъ!

Ольга. *(смѣясь тихо).* Старикъ, бѣднята, какой циникъ! Должно быть, изъ суда!.. Крючкотворъ...

(Глаголевъ неловко кланяется роняетъ табакерку, поднимаетъ. Зиминъ здоровается съ Мар. Павл. и съ Ольгой).

Зим. Погода сегодня хорошая!

Ольга. Помилуйте, дождь идетъ, они говорятъ, погода хорошая. Вы скажите, что дѣлали сегодня?

Зим. А такъ. Курилъ, лежалъ, пѣлъ... ну и къ вамъ пошелъ... Скука страшная. Завтра утромъ стрѣлять ѣду.

Ольга. А на службу?

Зим. Ну ее... Подписать за недѣлю не дали.

Суд. Степанъ Иванычъ, Мароа Павловна и Ольга, я васъ прошу о сочувствіи къ бѣдному человѣку. У него жена, восьмеро дѣтей, изъ которыхъ половина теперь больны. Если ему не помогутъ, у него умрутъ двое или хоть одинъ изъ дѣтей. Это-бы ничего, что умрутъ они, а то горе, что новыя хлопоты. Я прошу васъ помочь.

Мар. Павл. Это что такое? Какую порешь ты галиматью?

Ольга. Надобно помочь ему, папа.

Суд. Бѣднякъ передъ нами... Ну, начнемъ подписку...

Зим. Этому? Да не за что ему... Онъ постоянно клянчить ходитъ!

Суд. Ну, полноте, пожалуйста: вы живете на доходахъ. Дадимъ по рублю. Ну, Мароа Павловна, я даю рубль.

Мар. Павл. Вотъ еще забавно! Какого-то оборванца пригласилъ судейскаго... Гдѣ мы возьмемъ денегъ, что мы за богачи!

Суд. Мароа Павловна, стыдись!

Мар. Павл. Мнѣ нечего стыдиться.

Суд. Припомни-ка Семенова. Ну, покажи-ка намъ примѣръ.

Мар. Павл. Полтинникъ.

Суд. *(Зимину).* Ну, что же?

Зим. Право, денегъ нѣтъ.

Суд. А въ карты Есть! Полноте, Степанъ Иванычъ.

Зим. *(съ сердцемъ).* Я рубль даю.

Ольга *(смѣясь).* Я полтора.

Мар. Павл. *(дергая ее за платье).* Ты съ ума сошла!

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Тѣ же и Михайловъ.

Суд. Я еще даю рубль.

Зим. Я полтинникъ прибавлю.

Ольга *(смѣясь).* Я полтинникъ прибавляю.

Зим. Я три даю! *(бросаетъ деньги на столъ).*

Ольга. Я...

Мар. Павл. *(съ сердцемъ).* Да будетъ тебѣ!

Суд. А ты, Мароа Павловна?

Мар. Павл. Я ни копейки!

Мих. Я даю полтинникъ!

Суд. Стыдись, Мароа Павловна, вотъ г. Михайловъ даетъ даже, а ты не хочешь.

Зим. Я двѣ свои сорочки.

Ольга. Я трубку холста.

Мар. Павл. Такъ и быть, я даю твоей женѣ старое платье, да платокъ дѣтямъ. Да смотри не пропей.

Глагол. *(плача)*. Куда мнѣ, батюшка? *(Кланяясь въ ноги Судейкину)*. Премного вамъ благодаренъ! Вѣкъ Бога буду молить?

Суд. *(даетъ ему деньги)*. Возьми! Да встань, старикъ. Подожди, я дамъ тебѣ сапоги. Только, пожалуйста, ходи на службу.

Мих. *(про себя)*. Пропьетъ сегодня же и сапоги и холстъ! Пьяница и плутъ, нужды нѣтъ, что старъ... Онъ постоянно ходитъ по домамъ, сбираетъ на бѣдность; самъ пьянъ, а дома жена и дѣти голодаютъ, бѣдствуютъ, воютъ...

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Сцена I.

Комната второго дѣйствія.

ЯВЛЕНІЕ I.

Мареа Павловна и Чуроховъ.

Мар. Павл. *(у окна)*. Вы его ужасно разсердили! Ахъ, Боже мой, куда это онъ пошелъ? Вѣдь, онъ хотѣлъ итти въ полицію.

Чур. *(смотритъ въ окно)*. Нѣтъ, онъ пошелъ въ судъ! Въ полицію итти не за чѣмъ,—вѣдь выйдетъ скандалъ, а ему съ меня ничего не взять.

Мар. Павл. Вы слышали, что здѣсь у насъ было?

Чур. Какъ же *(садясь)*. Все слышалъ, какъ онъ бранилъ васъ за то, что вы протестовали противъ его честности. Ахъ, какъ онъ былъ смѣшонъ!

Мар. Павл. И вамъ не стыдно было подслушивать?

Чур. За васъ мнѣ было стыдно.

Мар. Павл. Все-таки, нехорошо подглядывать, какъ мужъ цѣлуетъ жену.

Чур. Напротивъ, досадно, что жена цѣлуетъ своего мужа.

Мар. Павл. Необходимость, мой милый Платонъ Иванычъ. Вѣдь, я беру поцѣлуями.

Чур. Вы были въ тотъ моментъ очень хороши... Мнѣ, право, было досадно, что цѣловали вы не меня, а его...

Мар. Павл. Э, полноте, дружочекъ! Вѣдь, я ему все-таки жена, обязана его любить, хоть какъ-нибудь. Что же дѣлать, если я его люблю только изъ выгодъ, когда мнѣ нужно... Я вовсе его не люблю, хотя онъ меня и безъ мѣры любитъ. Вотъ васъ я люблю, и ты это знаешь, противный! Душка! *(Цѣлуетъ его)*.

Чур. Скажите, зачѣмъ вы вышли за него замужъ! Но, конечно... у васъ была любовь, а теперь вы его не любите... Играйте, играйте вашимъ супругомъ, для любви ко мнѣ. Мы съ нимъ справимся.

Мар. Павл. О, нѣтъ, съ такимъ человѣкомъ надо много ума. Это такой человѣкъ, что хоть ты ему что ни говори, что ни доказывай, хоть ты его брани,—онъ все свое: «я хочу по законамъ и сдѣлаю». Такъ и дѣлаетъ.

Чур. Но, можетъ-быть, онъ васъ послушаетъ! Мареа Павловна, попросите, ради Бога, ради вашей любви, прошу васъ! *(Вынимаетъ деньги и даетъ)*. Вотъ, отдайте ему триста рублей, а это вамъ, за вашу любовь. Тутъ сто рублей. *(Цѣлуетъ ее)*.

Мар. Павл. А если онъ не возьметъ?

Чур. Быть не можетъ! Возьметъ, вы его убѣдите. Я удивляюсь, наконецъ, вашему мужу: отчего не взять? Вѣдь, только нужно рѣшить дѣло; рѣши его, какъ хочешь, и отошли въ палату. Палата перерѣшитъ по-своему. Вы знаете вѣдь какъ тамъ рѣшаютъ дѣла..

Мар. Павл. Не знаю... За успѣхъ я не могу ручаться. Однако, употреблю всѣ мѣры. Онъ, право, такой неугомонный.

Чур. Да втолкуйте вы ему, что съ деньгами жить хорошо, хоть гдѣ и хоть когда. Отдали подъ судъ, уволили безъ прошенія, деньги есть и—помилуй Богъ, живется. Я вотъ теперь и не думаю о службѣ,—увольняй, проживу лѣтъ тридцать, если не больше.

Мар. Павл. *(смѣясь)*. Какой, вы Платонъ Иванычъ, громобой! Вы скажите мнѣ, много-ли вы взяли за дѣло?

Чур. *(тихо)*. А вамъ на что?

Мар. Павл. Нѣтъ, такъ, сознайтесь.

Чур. Мнѣ дали тысячу рублей. Да это пустяки противъ того, что взялъ судья.

Мар. Павл. А секретарь взялъ? Вѣдь, это его дѣло.

Чур. Ему не за что. Это такая скотина, что и говорить про него не стоитъ. Прежде онъ былъ здѣсь столоначальникомъ и часто по ночамъ пьяный валялся въ грязи. Женился на бывшей гувернанткѣ богатаго купца, снюхались какъ-то. Она ему купила домъ, да и теперь много денегъ имѣетъ, выхлопотала должность секретаря: судью просилъ, посылала въ губернскій мужа хлопотать. Зато, какъ она его бьетъ! *(Встаетъ)*. Однако, мнѣ пора! Я вамъ отдамъ записочку, кого нужно освободить по дѣлу. *(Отдаетъ)*. Пожалуйста, пусть онъ освободитъ ихъ, за это и деньги даю. А мнѣ позвольте васъ поцѣловать *(цѣлуетъ)*.

Мар. Павл. Проказникъ эдакой. Я поговорю ему, уговорю... Вы знакомы съ Ольгой?

Чур. Нѣтъ. Она такая прекрасная, что я не смѣю съ ней слова сказать. Да и горда немножко.

Мар. Павл. Зато она умна.

Чур. Вы для меня всѣхъ умнѣе. Я васъ вотъ ужъ третій мѣсяцъ люблю и не разлюблю. *(Цѣлуетъ ее и уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ II.

Мареа Павловна одна.

Мар. Павл. Каково я здѣшнихъ-то голубчиковъ принадула!.. Вотъ какой селадонъ, какъ прежде говорили, рыцаремъ моимъ хочетъ быть... Прекрасно! Охъ, Паша, Паша! Не люблю ли я тебя, а ты сво-

имъ помѣшательствомъ вотъ на какія продѣлки меня заставляешь пускаться. Это ужъ послѣднее средство соглашаться, и брать деньги. Вотъ такимъ образомъ я уже набрала 800 рублей... О, если бы я была богата! Зачѣмъ я бѣдна! Я бы не допустила себя до того, чтобы какой-нибудь расходчикъ меня цѣловалъ. *(Плюетъ).* Тьфу! Ты не думай, чтобы я тебя любила. Я люблю только для денегъ... Пусть цѣлуетъ... Ахъ, бѣдность-то меня заставляетъ только... дочь, сынъ... Вотъ я и надуваю... А подло это! Подлость! И вправду, какъ подумаешь, они дѣлаютъ нечисто. Раскольники убили троихъ, а они взяли четыре тысячи и хотятъ ихъ оставить ненаказанными! Этакіе негодяи! Да ужъ это явное зло. Паша правду говоритъ. Правда видно,—они его притѣсняютъ. Однако, три мѣсяца прошло, какъ Паша отправилъ письмо губернатору, а нѣтъ никакого увѣдомленія. Вѣроятно, оставлено до ревизіи губернатора. Нѣтъ, г. Чуроховъ, я вѣдь не продажная какая, чтобы надо мной издѣваться. Я природная дворянка... Конечно, деньги... но онъ не согласится... Да и не надо соглашаться, попадется подъ судъ еще... Что же я сдѣлаю съ деньгами? Отдамъ Пашѣ—возьметъ ладно не возьметъ—возьму себѣ; пусть рѣшаетъ, здѣсь ужъ я не могу съ нимъ рѣшать. Другое дѣло въ палатѣ было—тамъ дѣла сходили, а здѣсь не сойдутъ, палата не пропуститъ. Будетъ, я три мѣсяца примирялась и все напрасно—его не перебьешь... Уже не уважу же этого разбойника Чурохова! Добро бы бѣдный какой былъ...

ЯВЛЕНІЕ III.

Марѳа Павловна и Навалихинъ.

Нав. *(входя).* А, Марѳѣ Павловнѣ мое почтенье!

Мар. Павл. Здравствуйте, Карпъ Егорычъ. Прошу покорно садиться. Здорова ли Марья Ивановна?

Нав. Слава Богу. Что подѣлываете?

Мар. Павл. Ничего теперь. Сбираюсь пить чай. *(Садятся рядомъ).* Ну-съ, что новенькаго?

Нав. Пока ничего нѣтъ. Слышно только, говорятъ, губернаторъ скоро будетъ.

Мар. Павл. Да, говорятъ. Надо же посмотрѣть и нашъ городъ.

Нав. *(смѣясь).* Я думаю, ничего онъ не найдетъ достопримѣчательнаго. На насъ смотрѣть нечего—мы люди уѣздные, дѣлаемъ, что можемъ. Ну найдетъ какія неисправности, такъ это не бѣда: у кого нѣтъ канцелярскихъ ошибокъ? а если найдетъ побольше, такъ тоже можетъ извинить: мы живемъ въ уѣздѣ.

Мар. Павл. У кого какой взглядъ на вещи, Карпъ Егорычъ.

Нав. Но я не думаю, чтобы губернаторъ былъ золъ. Если онъ будетъ золъ для насъ, такъ долженъ быть такимъ же и для другихъ уѣздовъ. Повѣрьте, мы нисколько не отступаемъ отъ другихъ городовъ: дѣлаемъ такъ же, какъ и тамъ—это ужъ дѣло обыкновенное—уѣздное. Конечно, мы попраздновали почти годъ, надо и на экзаменъ приготовляться, а къ экзамену успѣемъ. Но въ этомъ дѣлѣ мы какъ-нибудь замаскируемся. Страшно только поджидать и быть первый часъ на лицо съ такимъ лицомъ, а потомъ страхъ пройдетъ, объяснимся какъ-нибудь, схитримъ, свалимъ на кого-нибудь, и все пройдетъ, пойдетъ опять обычнымъ порядкомъ. Это, такъ сказать, тревога одинъ разъ въ году, или, такъ сказать, прорывъ мельницы. Все, что копишь въ годъ, теперь выходитъ разомъ... Вотъ еще новость: у насъ наборъ, говорятъ, будетъ.

Мар. Павл. Да, я слышала. Только изъ газетъ ничего не видно.

Нав. А вы, вѣрно, выписываете?

Мар. Павл. Павелъ Тимоѳеичъ выписываетъ «Сѣверную Пчелу», «Отечественныя записки», журналъ «Воспитаніе» и «Русскій Вѣстникъ».

Нав. А! что же, много есть любопытнаго?

Мар. Павл. Есть порядочныя сочиненія. Нынче все больше идутъ по прогрессу, современное пишутъ; кое-гдѣ либеральничаютъ.

Нав. Скажите, пожалуйста! Это, вѣдь, прекрасно.

Мар. Павл. Въ одномъ сочиненіи славно отдѣлали одного судью.

Нав. За что же?

Мар. Павл. За взятки и тому подобное.

Нав. Этакіе скоты! Да какъ это дозволяется въ печати помѣщать?..

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и Артемій входитъ съ самоваромъ и ставитъ его на столъ.

Мар. Павл. Ольга пріѣхала?

Арт. Пріѣхали-съ.

Мар. Павл. Скажи, чтобы принесла закуску. *(Артемій уходитъ).*

Нав. Ольга Павловна ѣздила куда-то?

Мар. Павл. Да, прокатиться захотѣлось, день такой хорошій, хоть и морозный.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и Ольга (съ закуской). Артемій (приноситъ чайный приборъ и уходитъ).

Ольга *(Навалихину).* Здравствуйте.

Нав. *(жметъ ей руку).* Мое почтеніе. Вы кататься изволили?

Ольга. Да, немножко. Дома скучно.

Нав. Отчего же вы къ намъ не ѣздите?

Ольга. Извините, право некогда. Я все занята, весь день.

Нав. Я удивляюсь, отчего вы не держите стряпку.

Мар. Павл. Пробовали уже мы нанимать, да не умѣютъ ничего дѣлать; учить терпѣнья не достаетъ, къ тому же это такой грубый народъ, что скажи ей, укажи, какъ сдѣлать, она разсердится: что я, говоритъ, вамъ крѣпостная, что ли?

Нав. Скотина народъ! Вы бы попросили повѣреннаго, онъ дастъ хорошую. *(Пьютъ чай).*

Мар. Павл. Я говорила Павлу Тимоѳеевичу, да онъ все не соглашается, «связываться, говоритъ, не хочу съ повѣренными».

Нав. Напрасно, это прекрасные люди, мы отъ нихъ хлѣбъ ѣдимъ.

Мар. Павл. Быть-можетъ, кто другой, а не мы!

Нав. Кто же виноватъ? Я удивляюсь вашему Павлу Тимоѳеичу... Странный человѣкъ.

Мар. Павл. Я тоже... странный.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же и Судейкинъ.

Суд. *(входя съ сердцемъ).* А, удралъ, каналья! *(Замѣчая судью).* А, Карпъ Егорычъ! Пріятнаго аппетита желаю, каждому поодиночкѣ, а вамъ особо...

Нав. Вы, кажется, не въ духѣ?

Суд. Нѣтъ... ничего... Вонъ Артемій нагрубилъ давеча, хотѣлъ, было, отвести въ полицію, да ужъ пожалѣлъ... *(садится къ столу и пьетъ чай).* Ну-съ, какъ губернаторъ?

Нав. Вамъ, я думаю, больше извѣстно, вы часто получаете письма.

Суд. Да, вѣдь, пишутъ разно. Одинъ пишетъ— скоро отправится, другой — уѣхалъ по такому-то тракту, третьи стращаютъ; не знаешь, чему и вѣрить.

Нав. Однако, въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ» пишутъ, что отправился уже.

Суд. Надо полагать, что уѣхалъ по другому тракту; нашъ городъ вовсе незначительный, а онъ, я думаю, будетъ ревизовать долго, такъ какъ губернаторъ новый. По-моему, его и бояться-то нечего.

Нав. Я съ вами согласенъ въ томъ отношеніи, что онъ, какъ служившій гдѣ-нибудь въ министерствѣ, смотритъ на такія вещи, какъ нашъ судъ, очень поверхностно. А въ эти мелочи не ему входить. Ну, онъ и схватитъ что-нибудь этакое...

Суд. Общія мѣста—немудрено... Я думаю, гдѣ ему все знать.

Нав. Вотъ васъ бы послать ревизовать, вы бы укопали. А, вѣдь, я, Павелъ Тимоѳеевичъ, къ вамъ по дѣлу.

Суд. По дѣлу?! По какому? *(садятся къ лѣвой сторонѣ. Ольга убираетъ чашки, уноситъ самоваръ и садится съ Маро. Павл. у стола. Разговариваетъ съ ней шопотомъ).*

Нав. Что мы станемъ дѣлать съ дѣломъ о раскольникахъ?

Суд. По-моему, лучше всего судить объ этомъ въ присутствіи суда—при членахъ.

Нав. *(вынимаетъ портсигаръ).* Пожалуйте сигару. *(Куритъ. Судейкинъ куритъ).* Но тамъ... знаете, какъ-то неловко. Недосугъ... Вѣдь, надо обсудить, что сдѣлать... Вы человѣкъ умный...

Суд. *(про себя).* Вотъ-те разъ! Судья съ просьбой ко мнѣ пришелъ! *(Навалихину).* Помилуйте, Карпъ Егорычъ... Однако, я не могу понять, въ чемъ я могу быть вамъ полезенъ?

Нав. Я считаю васъ за человѣка талантливаго, съ такимъ умомъ, какихъ здѣсь не найдется. Вы когда еще въ палатѣ служили, такъ я зналъ васъ по указамъ. Но я... простите пожалуйста меня, не понялъ васъ, погорячился... Написалъ доносъ. Виноватъ, ей Богу, съ кѣмъ не случается, я право васъ огорчилъ.

Суд. И худо сдѣлали, что послушались людей.

Нав. *(жметъ ему руки).* Простите! Теперь я васъ понялъ и всегда буду за васъ стоять горой. Все дѣлайте, что вамъ будетъ угодно. Нельзя ли оказать мнѣ небольшую услугу?

Суд. Въ чемъ?

Нав. Написать рѣшеніе по этому дѣлу. Повѣрьте, кромѣ васъ, никто не сумѣетъ рѣшить. Да и писать некому. Столоначальникъ занятъ и такъ много дѣлаетъ.

Суд. На это есть Зиминъ и Чуроховъ.

Нав. *(обидясь).* Эхъ! На Зимина я вовсе не надѣюсь. Ему ни одного рѣшенія не написать. Будьте такъ добры, Павелъ Тимоѳеевичъ, хоть къ завтрашнему дню.

Суд. Я, пожалуй, съ полнымъ удовольствіемъ, согласенъ рѣшить, но у меня такъ много дѣла по своей части: надо привести въ порядокъ... я вотъ цѣлый мѣсяцъ привожу въ порядокъ дѣла, а все еще не могу удовлетворительно направить.

Нав. Тѣ можно оставить. Мы ихъ заднимъ числомъ пустимъ.

Суд. Нѣтъ-съ. Этого я не допущу. Вы видѣли, какъ я направилъ гражданскій столъ: при ревизіи, надѣюсь, что похвалятъ. Не знаю, что и дѣлать...

Нав. *(умоляющимъ голосомъ).* Павелъ Тимоѳеевичъ! Вѣдь, если мы его не отошлемъ на ревизію на этой недѣлѣ, меня вѣдь отдадутъ подъ судъ. И то ужъ я подъ судомъ, да еще подъ судъ. Шуты, сколько продержали!

Суд. Сами виноваты. Зачѣмъ вамъ было слушать, Богъ вѣсть кого.

Нав. Я васъ увѣряю, отнынѣ я вашъ другъ; что сдѣлаете вы—я перечить не буду.

Суд. Однако, на какихъ условіяхъ?

Нав. Что угодно.

Суд. Во-первыхъ, выгоните Чурохова.

Нав. Этого я не могу сдѣлать.

Суд. Почему же?

Нав. Для меня онъ необходимъ такъ же, какъ необходимъ вамъ кто-нибудь, какъ, напримѣръ, Михайловъ.

Суд. Михайловъ необходимъ только для моего сына. Вы знаете, что я за него не прошу: а ужъ, кажется, онъ давно можетъ быть столоначальникомъ гражданскаго стола; какъ безъ меня онъ получалъ три рубля, такъ и теперь получаетъ три. Я рѣшительно никому не протежирую.

Нав. Я опредѣлю завтра же Михайлова столоначальникомъ, дамъ ему десять рублей, если хотите...

Суд. Да Михайловъ не согласится быть столоначальникомъ. Онъ не съ такимъ умомъ, чтобы служить ему въ судѣ. Чуроховъ, если вамъ другъ, то врагъ всѣхъ служащихъ, причина безпорядковъ. Если вы не дадите слова убрать его, я вашей просьбы не исполню.

Нав. *(чуть не плача).* Помилуйте! Это невозможно. Онъ женится на моей свояченицѣ.

Мар. Пав. *(про себя)*. Вотъ какая скотина! Ну, отомщу же я ему!

Суд. *(вставая)*. Я подумаю, можно ли рѣшить дѣло.

Нав. *(чуть не плача)*. Павелъ Тимоѳеичъ...

Суд. Сердиться—такъ сердиться. Я не понимаю, почему вы такъ полюбили Чурохова. Друзьями можно быть хоть гдѣ. Я васъ прошу, хоть предложить ему секретаря магистрата, благо вакансія есть. Мѣсто прекрасное...

Нав. Я ему предложу—мѣсто тутъ хлѣбное. Но кого же мы опредѣлимъ?

Суд. За этимъ дѣло не станетъ. Пусть сами служащіе выберутъ расходчика, а надсмотрщика выберемъ сами мы. Второе,—чтобы у насъ былъ порядокъ, чистота, чтобы дѣла шли исправно, и служащіе на насъ не жаловались.

Нав. И это невозможно.

Суд. Да отчего же невозможно-то? Очень возможно. Только предоставьте мнѣ судъ, посмотрите, какъ я его направлю.

Нав. Согласенъ. *(Про себя)*. Вотъ до чего я унизился...

Суд. Теперь и я согласенъ. Будьте покойны.

Нав. *(жметъ ему руку)*. Ахъ, какъ я радъ! Какъ радъ! Какъ хорошо имѣть подъ рукой такого опытнаго человѣка. Судъ отъ васъ много выиграетъ. Пожалуйте ко мнѣ сегодня на вечеръ.

Суд. Благодарю. Я займусь дѣломъ.

Нав. У насъ будетъ совѣтъ насчетъ ревизіи.

Суд. Хорошо, если будетъ время.

Нав. Пожалуйте! *(Марѳѣ Павловнѣ и Ольгѣ)*. И вы, пожалуйста, пріѣзжайте... Вы, право, никогда не ходите къ намъ... Вотъ, Ольгѣ Павловнѣ надо бы бывать вездѣ, а то какая-то затворница.

Мар. Павл. Благодарю. Можетъ-быть, пріѣдемъ!

Нав. До свиданья! *(Кланяется и прощается со всѣми. Судейкину)*. Итакъ, я въ надеждѣ?

Суд. Будьте въ надеждѣ. Къ завтрему будетъ готово. *(Навалихинъ уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же безъ Навалихина.

Суд. *(смѣясь)*. Что, хорошъ Судейкинъ?

Мар. Павл. Хорошъ. Только надо бы деньжонокъ попросить.

Суд. *(садясь)*. Ты, право, помѣшалась въ умѣ!

Мар. Павл. Ну, полно. Ты сообрази, пожалуйста, вѣдь онъ деньги взялъ, а ты обработывай.

Суд. *(смѣясь)*. Я ихъ обработалъ ужъ. У меня рѣшеніе ужъ написано. Покаются тѣ, которые давали, что дали, да и эти господа покаются, что взяли...

Мар. Павл. Кто же больше всѣхъ обвиняется въ дѣлѣ?

Суд. *(смотря на Марѳу Павловну)*. А тебѣ на что?

Мар. Павл. Меня просили освободить главныхъ виновныхъ. Вотъ и записочка *(отдаетъ Судейкину записку и деньги)*.

Суд. *(съ сердцемъ)*. Кто писалъ?

Мар. Павл. Почеркъ знакомый. Кто писалъ, тотъ давече былъ здѣсь. Помнишь, ты еще хотѣлъ итти жаловаться на него, зачѣмъ онъ подслушалъ нашъ разговоръ, и смѣялся, какъ ты со мной любезничалъ.

Суд. *(бѣгая по комнатѣ)*. Это все Чуроховъ! Вотъ онъ, вотъ мошенникъ... Онъ еще записки пишетъ, кого освободить... О, я все представлю губернатору: много ли ты взяла?..

Мар. Павл. Всѣ у тебя.

Суд. *(выходитъ изъ терпѣнія)*. Что? Врешь... Я тебѣ много разъ говорилъ не брать, такъ я же сдѣлаю съ тобой... Я представлю деньги губернатору, скажу, что Чуроховъ принесъ моей женѣ. Пусть допрашиваютъ васъ... Нѣтъ, ты меня не проведешь, матушка! Я давно замѣчаю твои съ нимъ продѣлки! Пусть судятъ васъ.

Мар. Павл. Но, Паша, подумай, вѣдь, это скандалъ.

Суд. Мнѣ все равно!

Мар. Павл. Ты замараешь мою честь и свою...

Суд. Твою только... И не стыдно тебѣ... Я серьезно говорю—деньги будутъ представлены... Какъ пріѣдетъ губернаторъ, — онъ сегодня пріѣдетъ,—я ему и отдамъ. Отдай сейчасъ всѣ деньги!

Мар. Павл. Паша, вотъ еще сто рублей, а остальные сто я издержала.

Суд. Марѳа Павловна! Ты мнѣ не жена послѣ этого! Я напишу тебѣ билетъ на два года, поѣзжай съ этими деньгами, куда хочешь, хоть къ чорту!.. Маршъ изъ моего дома... Ты отравляешь мою жизнь!..

Мар. Павл. Паша!

Суд. Вонъ! Чтобы духа твоего не было здѣсь!

Мар. Павл. Павелъ Тимоѳеичъ, подумай!

Суд. Я что сказалъ, то свято. Завтра же вонъ! Вонъ, вонъ!..

Ольга. Папа, пощадите маму!..

Суд. Что?.. Ее?.. Никогда!

Ольга. Папа, я васъ прошу.

Суд. Вонъ!.. Ни слова.

Ольга. Пожалѣйте!

Суд. Тебѣ что надо? Ты что мѣшаешься въ мои дѣла? Съ нея, что ли, берешь примѣръ?

Мар. Павл. Что это съ тобой? Ты дай мнѣ разсказать все...

Суд. Ни слова. Уйдете ли вы съ моихъ глазъ? Я велю васъ вывести, сударыня!

Ольга. Папаша! *(плачетъ)*. Прошу васъ!..

Суд. Артемій! Артемій! *(входитъ Артемій)*.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и Артемій.

Суд. Выведи эту барыню на улицу!.. Нѣтъ, въ другую комнату...

Ольга. Не тронь, Артемій!

Артем. Чего же баринъ-то, съ ума сошли, что ли?

Суд. Господи!.. До чего я дожилъ!..

Ольга. *(Артемію)*. Уйди! пожалуйста. Онъ

нездоровъ. Сходи за лѣкаремъ сейчасъ же. *(Артемій уходитъ).* Папаша, умоляю васъ! *(становится на колѣни).* Подумайте, пожалуйста, что вы дѣлаете. Ну, хорошо ли, вдругъ, безъ всякой, можетъ быть, причины, говорить такія вещи, да еще позвали кучера... Онъ теперь всѣмъ разскажетъ. Папаша, я знаю все: Чуроховъ обманывалъ мамашу, она не соглашалась, онъ давалъ деньги, и уходилъ. Вѣдь ничего не оставалось больше, какъ сказать вамъ...

Мар. Павл. *(встаетъ на колѣни).* Павелъ Тимоѳеичъ, другъ мой, Чуроховъ искалъ даже моей любви... Я согласна отдать всѣ деньги, я продамъ лошадь...

Ольга. Мамаша не будетъ больше брать...

Мар. Павл. Не буду, Паша!

Суд. *(встаетъ).* Вы со мной комедію играете... Ну, да Богъ съ тобой! Эту вину я тебѣ прощаю... *(бросаетъ на полъ деньги).* Возьми ихъ, прибери, дѣлай, что хочешь, если онѣ тебѣ дороги, а на твоей лошади я не поѣду... Это деньги, за кровь добытыя! Прощаю до первой вины... тогда я не прощу тебя... *(Ольгѣ).* А тебя прошу не просить за нее... *(встаетъ).*

Ольга. *(цѣлуетъ Судейкина).* Благодарю, папаша. Какъ вы, право, сегодня строги...

Мар. Павл. Прости, Паша, теперь я клянусь тебѣ, не заикнусь даже о какой-нибудь просьбѣ.

Суд. И хорошо сдѣлаешь, дай Богъ.

Мар. Павл. Вотъ увидишь.

Суд. Посмотримъ.

Ольга. Ну, помиритесь, папа, вѣдь сегодня на вечеръ звали...

Суд. Ну ихъ къ черту!

Мар. Павл. *(беретъ руку).* Прости.

Ольга. *(беретъ руку).* Простите...

Суд. Ну, ну, впередъ чтобъ не было.

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же и Михайловъ.

Ольга. Михайло Иванычъ, скорѣе сюда!..

Мих. Что такое?

Ольга. Разнимайте руки.

Мих. Да я не знаю, что такое?

Суд. Ладно, ладно! *(опускаетъ руки).* Вотъ что, Михайло Иванычъ, вамъ сегодня придется не поспать ночь. Я боюсь какъ бы губернаторъ не пріѣхалъ ночью... Мнѣ хочется его встрѣтить. Просидимте въ судѣ.

Мих. Хорошо.

Ольга. А онъ непремѣнно будетъ сегодня?

Мих. *(тихо Ольгѣ).* Сами же говорили мнѣ. *(Судейкину).* Губернаторъ долженъ быть въ 9 часовъ. Мнѣ сейчасъ сказывалъ ямщикъ...

Суд. Такъ пойдемъ. Надо приготовить свой столъ въ порядкѣ. Ну, Мареа, прощай! Иду на бой, теперь ужъ не съ тобой... Да смотри у меня... Да! Вы пойдете къ судьѣ?

Мар. Павл. и Ольга. Нѣтъ.

Суд. И не слѣдуетъ. *(Всѣ уходятъ въ разныя стороны).*

Сцена вторая.

Порядочно убранная комната въ домѣ судьи Навалихина: три двери—впереди, направо и налѣво. Онѣ растворены. Два стола у дверей, по правую и по лѣвую сторону, и третій столъ въ углу. На столахъ вина, водка и закуска. Стулья разставлены въ симметрическомъ порядкѣ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Зиминъ, Тетеринъ и Поповъ *(исправникъ)* сидятъ въ углу отъ правыхъ дверей. Изъ дверей налѣво выходятъ Навалихинъ и Марья Ивановна, толстая женщина, 30 лѣтъ, въ шелковомъ зеленомъ платьѣ, въ чепцѣ, и Чуроховъ, 25 лѣтъ, одѣтъ щеголевато. Онъ садится къ столу направо; изъ дверей направо выходятъ Дороѳеевъ и Степанида Львовна, 56 лѣтъ, худощавая, высокая, въ косынкѣ; Прасковья Ивановна, 20 лѣтъ, шадровитая, некрасивая собой, съ сѣткой на головѣ, ѣстъ мелкіе орѣхи, Анна Ивановна, 30 лѣтъ, въ шляпкѣ. Садятся къ столу налѣво.

Чур. Карпъ Назарычъ, вы не слышали, скоро война начнется?

Поп. Слышалъ что-то. Говорятъ, съ Турціей?

Тет. Да, говорятъ; говорятъ, будто у меня ноги болятъ, а я не вѣрю.

Дор. Давно бы эту нехресь пора стереть съ лица земли! какъ бы Турцію-то взять?

Тет. Ну-ка ухитрись! А? пузо-то вонъ какое. Ну-ка выпьемъ. *(Подходитъ и пьетъ).*

Дор. Ты, баринъ, не больно заѣдайся.

Тет. Ну-ну, бургомистръ... Пей! ты, вѣдь, погребокъ открылъ, а мнѣ хересу-то мало далъ!

Дор. *(съ сердцемъ).* Есть за что, такъ даю.

Поп. А, право, славно бы завоевать Турцію.

Степ. Льв. Возьмутъ ее, татарку, такъ я пѣшкомъ пойду на богомолье. Панихиду сослужу въ Ерусалимѣ по отцѣ Львѣ.

Дор. *(смѣясь).* Куда тебѣ, старухѣ!

Степ. Льв. Пойду, ей-ей, пойду! Съ костылемъ такъ и пойду.

Дор. Ты и дома-то кое-какъ костыляешь. Молись дома, иконъ много.

Степ. Льв. Ну, пойду, отъ благочестія пойду...

Зим. *(Тетерину).* Мужичье, ей-Богу.

Тет. Хоть какую пулю слей — повѣрятъ. Пишутъ, на Кавказѣ горцы бунтуютъ. Вотъ что страшно-то.

Степ. Льв. Гдѣ?

Тет. На Кавказѣ.

Степ. Льв. Ахъ-ти мнѣ! Тамъ мой братецъ служитъ. Офицеромъ пятый годъ.

Пр. Ив. *(Чурохову).* Такъ наборъ-то будетъ?

Чур. Какъ же, Прасковья Ивановна. Я буду проситься письмоводителемъ, ужъ сто цѣлковыхъ не пожалѣю, въ палату пошлю.

Пр. Иван. Большой ли?

Чур. По 5 человѣкъ съ тысячи, кажется.

Поп. Больше.

Чур. Нѣтъ, по 5.

Тет. Чего вы врете, по 6.

Дор. А гдѣ читали?

Чур. Теперь еще не пишутъ, а будетъ.

Дор. Ну, значитъ, вамъ набухвостили, а вы и вѣру дали.

Тет. Все равно, хоть 5, 6 или 8 съ тысячи, а наборъ будетъ. Заживемъ опять.

Поп. Конечно, почтмейстеру какъ не жить, сколько доходовъ!

Тет. Чорта два. Въ рекрутчину больше писемъ пойдетъ.

Зим. И доходнѣе, стало быть; сдачи никогда не сдаешь.

Тет. Чорта два. Вы вотъ сотнями берете, а мнѣ даютъ мало, да и тутъ шлешь въ губернскую, чуть гдѣ видишь загвоздку. Тамъ такіе тоже живодеры: нашему брату трудно жить. Не дашь—такъ и съ мѣста слетишь.

Поп. Все-таки почтмейстерамъ лучше нашего житье. Дѣла нѣтъ, только почту принимаетъ да отправляетъ.

Тет. Какъ же! Дѣла не дѣлай, а отъ дѣла не бѣгай.

Зим. Да это гдѣ почтъ много. А у насъ двѣ въ недѣлю: одна придетъ, другая уйдетъ; наборъ одинъ разъ.

Поп. Райское житье! къ Пасхѣ и къ Новому году тотъ несетъ, другой, тотъ кулекъ винъ, другой голову сахару, третій чаю.

Тет. Такъ что? Обязаны! Я для нихъ служу, письма отправляю. Вы бы посмотрѣли, какъ въ губернской-то дѣлаютъ. Тамъ покойный почтмейстеръ 5 тысячъ рублей накопилъ пятачками серебряными.

Степ. Льв. *(разводитъ руками)*. Такъ-таки серебряными?

Тет. Да.

Дор. А мы все не можемъ 5 рублевъ въ мѣсяцъ размѣнять. Казначей не даетъ.

Поп. Это такая сквалыга. Зазнался ужъ больно. Я, да я. «У насъ говоритъ, въ палатѣ все образованные, честные»!.. А опредѣляютъ за деньги. Въ прошломъ году хотѣлъ брата опредѣлить казначеемъ, предсѣдатель говоритъ: «на испытаніе приму, пусть сперва въ палатѣ послужитъ», а губернскій казначей говоритъ: «можно; давайте 200 руб. сер.». Зато секретарь тамъ день и ночь сидитъ. Умора такой...

Степ. Льв. Экое чудо 5 тысячъ пятачками накопить.

Тет. Чаю пудовъ 5 осталось, 70 головъ сахару одного, да мало ли чего. У него былъ дворникъ Митька, все мылъ его въ банѣ, такъ и тотъ получалъ по рублю въ день или по рубахѣ: мѣста давалъ почтальонамъ въ смотрителя. Другой былъ любимецъ, старшой, все чавкаетъ губами, какъ говоритъ. Почтмейстеръ крикунъ былъ. Прикрикнетъ такъ, что бѣда. Вотъ старшому нужно, знаете, собрать денегъ, а онъ и трясетъ съ почтальоновъ, которые пріѣдутъ съ почтой. Тотъ даетъ, а пьянъ и стоять не можетъ, красный такой. Стоитъ почтальонъ у стѣны. Почтмейстеръ, сидя въ присутствіи, подъ вечеръ, въ халатѣ, гнуситъ: «Ну, что, братъ, растрясло тебя, вишь какой красный! Поди, выспись». Тотъ и радъ. Другой трезвый, да не понравился старшому, старшой и говоритъ, и чавкаетъ *(показываетъ, какъ чавкаетъ)*: «Почтальонъ-съ пьянъ-съ, ваше высокородіе». А почтальонъ трезвехонекъ; онъ на его и прикрикнетъ: «Вишь, скотина, какъ шоры-то ты налилъ!»—«Я, ваше высокородіе, трезвой!»—«Ты ишшо говорить! Старшой, дай ему 300 розогъ»... И отдуютъ. А грамотенъ таково былъ старшой: почтмейстеръ разъ спрашиваетъ № сумки, онъ и говоритъ: «сорокъ двадцать второй», а чинъ сначала подписывалъ: «коллеги регистратора». Теперь ужъ не то, всѣми дѣлами правитъ письмоводитель: дай ему — все ладно, и теперь вина, водки и чай пить надо итти въ губернскую контору.

Поп. Вотъ судьѣ теперь доходъ будетъ.

Нав. А что?

Чур. Каждый день будетъ ходить въ рекрутское присутствіе пить шампанское.

Нав. Э, полноте, друзья. Набора-то еще нѣтъ.

Чур. Жаль, что нѣтъ Судейкина. Онъ бы намъ прочиталъ проповѣдь.

Тет. Онъ странный человѣкъ.

Поп. Чего притворяетесь — другъ вашъ: племянникъ вашъ учителемъ у него.

Тет. Все-таки, хоть и другъ, а странный.

Чур. И невѣжа къ тому.

Поп. *(Навалихину)*. Ну, а вашъ доносъ какъ?

Нав. Ничего нѣтъ еще.

Поп. Надо бы его спихнуть.

Тет. Что онъ вамъ мѣшаетъ взятки брать?

Дор. Нѣтъ, онъ честный, обсудительный, благородный.

Тет. Вы, бургомистръ, его не защищайте. Я, вѣдь, знаю, какъ вы къ Рождеству ему крупчатки два мѣшка подарили. Я въ «Сынѣ Отечества» про васъ читалъ.

Дор. Слѣдуетъ, такъ дарю.

Чур. Я вамъ, господа, скажу, что всѣми дѣлами Судейкина жена заправляетъ.

Поп. Вотъ какъ!

Нав., Тет. и Дор. Неправда!

Чур. Да чего еще надо вамъ: я сегодня ее помаслилъ немного. Просилъ уговорить мужа одно дѣльце рѣшить, ну, денегъ далъ, и согласилась.

Поп. Право?

Чур. Да. Онъ всегда соглашается съ женой, и что ему она ни скажетъ, такъ и будетъ. Вотъ и это я хочу описать, да въ «Сынъ Отечества»...

Тет. Эдакая скотина! Да и это, братъ, ты вѣрно тамъ насочинилъ! *(Чуроховъ улыбается)*.

Поп. Вы! *(Чуроховъ молчитъ)*.

Тет. Ахъ ты!

Нав. Я и не зналъ! *(подходитъ къ Чурохову, тихо)*. Вы просили о дѣлѣ-то?

Чур. Какъ же.

Нав. Ну, что?

Чур. Надѣяться можно, перевѣсъ на нашей сторонѣ.

Нав. А онъ васъ сильно недолюбливаетъ.

Чур. Чортъ съ нимъ!

*

Тет. Да какъ же вы, Платонъ Иванычъ, съ ней сошлись-то?

Чур. Ну, ужъ это мое дѣло.

Дар. Ив. А дочка-то, дочка-то — такая гордячка.

Анна Ив. Представьте себѣ, до сихъ поръ со мной не познакомилась. Даже съ визитомъ не была.

Зим. У нихъ въ губернскомъ рука есть. Отъ этого они и зазнаются.

Поп. Какая рука, совѣтникъ что ли? *(Смѣется)*. Его ужъ давно губернаторъ прогналъ.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Запрягалкинъ *(городничій—высокій, толстый, плѣшивый, съ бакенбардами и большими усами, говоритъ свысока)*.

Запр. Мое почтеніе, господа! *(Всѣ здороваются)*.

Нав. Прошу садиться. Не хочешь ли чего, другъ любезный?

Запр. Спасибо. Я ужъ пилъ.

Мар. Ив. Гдѣ же Прасковья Максимовна?

Запр. Она что-то заболѣла.

Анна Ив. Прасковья Максимовна? Что съ ней?

Запр. Она наливала молоко въ крынку, а откуда ни возьмись мышь, и прямо въ молоко.

Всѣ. Ну, это не къ добру.

Запр. Очень разстроилась она, захворала даже.

Нав. *(гостямъ)*. Пожалуйте, водочки! *(Гости-мужчины пьютъ. Дамы подходятъ къ другому столу и берутъ то орѣховъ, то пряниковъ, то конфектъ)*.

Степ. Льв. Эдакая притча стряслась! Вотъ какъ-тось мнѣ стряпка говорила: «Мнѣ, говоритъ, мышь соскочила въ сольницу, когда я, говоритъ, у барина какого-то служила, ну, барыня, говоритъ, и умерла».

Дор. Я вотъ всегда замѣчаю, какъ котъ черняйка пересѣкаетъ мнѣ дорогу, значитъ, неудача, а попадетъ навстрѣчу, пріятно будетъ.

Чур. Я и самъ замѣчалъ.

Запр. Ну, господа, къ намъ скоро губернаторъ будетъ, берегитесь.

Поп. Вотъ выдумалъ! Онъ еще и штанами не потрясъ.

Запр. Что ни говорите, а ждать надо. Мнѣ ужъ это жданье встрѣчи да проводы, вотъ гдѣ сидятъ! *(указываетъ на спину)*.

Тет. По дѣламъ. Не пей шпунтора, не ходи въ тарантиръ, не играй на болетрясахъ. *(Всѣ мужчины пьютъ)*.

Запр. Все-таки, господа, я городничій! Служба—службой, дружба—дружбой... Вы, г. почтмейстеръ, приберите письма-то въ конторѣ.

Тет. *(обидясь)*. Ну, ну! Я вѣдь тебя не боюсь. Велика птица городничій: моя должность равна твоей.

Запр. *(смѣясь)*. Хочешь, арестую.

Тет. *(поднимая обѣ руки, вооруженныя кулаками)*. Ну-ка попробуй! Кто почту отправитъ, а? Да я всю твою полицію прибью.

Запр. Однако, господа, шутки въ сторону. Надо что-нибудь дѣлать. Право, славно живешь мѣсяцевъ 10, пріѣдетъ тамъ какой-нибудь чиновничишко, важничаетъ, кричитъ; да это ничего—подмаслишь, да послѣ и смѣешься надъ нимъ, и живешь панъ-паномъ. А тутъ губернаторъ! Вотъ архіерей ѣздитъ—тотъ не нашего поля ягода, у того своя паства. А губернаторъ, чуть не уноровилъ—и вонъ! Вотъ и служба. Опять надо подмасливать—еще какой человѣкъ. Все этотъ чортъ, стряпчій, не даетъ покою!

Тет. Да, я ему ужо обломаю ноги!

Чур. Давно слѣдуетъ отколотить. Вѣдь такая плутина: то не по закону, другое не такъ, а самъ съ мужиковъ деретъ.

Поп. Онъ все крикомъ беретъ.

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ же и стряпчій Добронравовъ.

Добр. *(входя)*. Вотъ какъ отличаются! Молодцы! Губернаторъ на носу, а имъ и горя мало...

Нав. *(беретъ его за руку)*. Пожалуйте, пожалуйте, Николай Николаевичъ, пожалуйте!

Тет. А, мое почтенье, скороспѣлый! Ну-ка выпьемъ *(тащитъ къ столу)*.

Добр. Мнѣ некогда, господа!..

Мужчины всѣ. Пей, пей!

Добр. Ну, ладно! За ваше здоровье, Марья Ивановна!

Мар. Ив. Благодарю. Прошу покорно.

Нав. Ну-съ, что новенькаго, любезный мой Николай Николаевичъ?

Добр. Вы меня знаете, какой у меня взглядъ на все. Я стряпчій, я блюститель закона. Намъ извѣстно,—ѣдетъ губернаторъ, а мы что дѣлаемъ? Что? Стрѣляемъ дичь, пируемъ...

Тет. Э, полно горячиться, пріятель.

Добр. Вамъ говорятъ, что ѣдетъ губернаторъ! Теперь ничего, а пріѣдетъ, такъ и носъ повѣсите? Я, какъ блюститель закона, хочу васъ предостеречь. А ты говоришь: не горячись! Ты забылъ — кто я? Я за вами смотрѣть поставленъ. Я оффиціально говорю. Какъ ты письма отправляешь?.. Куда ты дѣлъ письмо съ деньгами бургомистра? А? кто тебя спасъ?.. Кто уговорилъ бургомистра? Сидѣлъ бы въ острогѣ. Не правда? *(тише)*. Поймите, наконецъ, господа, то, что мы такое?.. Гдѣ у васъ порядокъ, чистота, исправность? Нѣтъ, мы всѣ, всѣ неисправны... Даже я неисправенъ... Понимаете... За васъ я больше васъ отвѣчаю... съ меня перваго потребуютъ отчетъ, что сдѣлалъ я, что сдѣлали вы? Скверно, скверно, господа! Хоть мы и дѣловые люди, а сдѣлали такъ мало, что на экзаменѣ нуль получимъ! Слышите, мы нуль получимъ! Насъ прогонятъ, отдадутъ подъ судъ! Понимаете! Сознайтесь, кто исправенъ?

Поп. У меня исправно все!

Добр. У васъ? *(смѣясь)*. Сейчасъ я былъ въ судѣ и подъ столомъ въ присутствіи увидалъ разбитый полуштофъ! Мало этого: пьяный секретарь разодрался со столоначальникомъ и вышибъ кни-

гой стекло въ окнѣ, а въ судѣ такъ и тащитъ водкой да махоркой. А дѣла-то хороши? Ходите на службу въ мѣсяцъ разъ.

Запр. Такъ, такъ. Все дичь стрѣляетъ, да рыбу удитъ.

Добр. А вы что смѣетесь?

Запр. (*смѣясь*). Неужели и у меня есть безпорядки? Вотъ разодолжилъ!

Добр. (*горячась*). У васъ? Молчите, сударь! Сейчасъ я три просьбы получилъ на васъ!.. Зачѣмъ вы у одного корову велѣли заколоть, у другого лошадь себѣ присвоили, съ третьей взяли пять рублей за то, что она украла на три рубля?

Запр. (*обидясь*). Это ужъ неправда.

Добр. (*съ сердцемъ*). Ужъ молчите вы! Сейчасъ я велѣлъ увезти съ дороги вашего квартальнаго... До того, каналья, напился, что уснулъ на дорогѣ! Хороша полиція, когда всѣ пьяны, и городничій пьянъ.

Тет. Важно! Ай-да стряпчій, молодецъ!

Добр. Ну, кто еще будетъ защищаться? (*Молчаніе*). (*Навалихину и Дороѳееву*). Объ васъ, уѣздный судья и бургомистръ, я и говорить не стану. Вы по горло завязли въ грязи. Судейкинъ только васъ и выводитъ изъ бѣды. А объ васъ (*Зимину*) и говорить не стоитъ! (*Чурохову*). Вамъ больше всѣхъ достанется!.. Вы со своими книгами, помяните меня, уйдете подъ судъ. Гдѣ у васъ дрова, свѣчи? Куда вы дѣли?

Чур. Я-съ... вы-съ...

Добр. (*съ сердцемъ*). Молчать-съ! Ну-съ, что же господа? Что мы станемъ дѣлать! Какъ поправить дѣла! Я, вѣдь, говорю о наружномъ видѣ только... А дѣла. Вѣдь, мы за дѣла будемъ отвѣчать... А каковы дѣла-то?

Нав. Можетъ, такъ сойдетъ.

Добр. (*съ отчаяніемъ*). Такъ-то прежде сходило! нѣтъ, нынѣ не тѣ времена. Вы скажите, что дѣлать намъ?

Нав. Не знаю.

Добр. Ну, что же? (*Молчаніе*). Да говорите же? (*Молчаніе*). Да вы глупы, глухи, что-ли?.. Брать умѣли, оправдываться—и языкъ присохъ (*садится*).

Чур. Кажется, возможность есть поправить наши дѣла.

Добр. Какая?

Чур. Губернаторъ, вѣдь, самъ ревизовать не станетъ; обыкновенно ревизуютъ чиновники, которые ѣздятъ съ нимъ.

Запр. Да, чиновники завсегда!

Добр. Такъ что же! Они-то и опутаютъ насъ.

Чур. А чтобы отвратить эту бѣду, которая, быть-можетъ, на всякаго изъ насъ... Если хотите, господа, я устрою все дѣло.

Всѣ. Какъ? какъ?

Чур. Сдѣлаемъ складчину и подаримъ того, кто будетъ ревизовать.

Добр. Вотъ вздоръ.

Всѣ. Складчину, складчину!

Добр. А если не возьметъ?

Всѣ. Возьметъ.

Добр. Пожалуй. Деньги вещь хорошая, но много ли мы теперь соберемъ.

Чур. Соберемъ, Николай Николаичъ... я даю двѣ сотни *серебромъ*.

Добр. Я двѣсти пятьдесятъ.

Запр. Я двѣсти пятьдесятъ.

Нав. Я двѣсти.

Добр. Мало. Вамъ пятьсотъ слѣдуетъ.

Нав. Триста.

Поп. Я полтораста.

Дор. Неужто и мнѣ своей мошной трясти приходится. Я пять рублей.

Всѣ. Что вы, бургомистръ!?

Дор. Вы, купецъ и бургомистръ. Хорошо вы знаете дѣло, нечего сказать — читать не умѣете. Да мы васъ уберемъ завтра же.

Всѣ. Уберемъ!

Дор. Двѣсти дамъ.

Всѣ. Пятьсотъ!

Дор. (*съ сердцемъ*). Ладно! черти! (*Про себя, встаетъ*). Вотъ грабежъ-то гдѣ!

Добр. (*Тетерину и Зимину*). А вы что?

Тет. Я денегъ не имѣю.

Добр. Займи!

Тет. Не за что давать.

Нав. Вы всѣхъ больше виноваты.

Добр. Доходы-то куда дѣвались?

Тет. Доходовъ нѣтъ.

Дор. А пудъ сахару да три фунта чаю я тебѣ послалъ къ именинамъ.

Всѣ. Слышите!

Тет. Да ужъ не отдать же ихъ губернатору?

Добр. А отъ заводовъ вы мало получаете; копеечные-то доходы куда дѣли?

Тет. Я лошадь купилъ, енотовую шубу завелъ, часы золотые выписалъ.

Добр. Толковать нечего! Двѣсти рублей, какъ хочешь.

Тет. (*съ отчаяніемъ*), Да я-то чѣмъ виноватъ? Въ губернскую контору шлешь, шлешь, да и здѣсь давай. Пятьдесятъ рублей дамъ. (*Про себя*) Да будь ты проклятъ и со службой!

Добр. (*Зимину*) А вы?

Зим. У меня, право, нѣту.

Добр. Давно ли получили двѣсти рублей.

Зим. (*Дороѳееву*). Одолжите 50 рублей.

Дор. (*съ сердцемъ*). Гдѣ бы я взялъ!

Зим. (*Чурохову*). Одолжите подъ росписку.

Чур. Извольте, по пяти копеекъ процентовъ на рубль, и то ужъ для васъ! Дайте росписку завтра.

Добр. Гдѣ же Судейкинъ?

Нав. Онъ не будетъ вѣрно. Онъ то дѣло хотѣлъ рѣшить.

Добр. А! Это прекрасно. Вотъ этого человѣка надо не отпускать.

Нав. Я даю за него пятьдесятъ рублей.

Добр. (*Чурохову*). Много ли всего?

Чур. Тысяча триста рублей.

Добр. А мало, господа!

Всѣ. Будетъ.

Чур. Кому же деньги хранить? Я думаю сдѣлать такъ: какъ пріѣдетъ губернаторъ, то и дать чиновникамъ до ревизіи, потомъ спросить, не нужно ли дать самому губернатору. На этотъ разъ мы составимъ новую складчину.

Всѣ. Да, да.

Нав. Деньги будутъ храниться у васъ, Платонъ Иванычъ. Вы ужъ и отдайте, и устройте сами.

Добр. Ну-съ, на-те сто рублей *(даетъ деньги Чурохову)*.

Дор. На-те двѣсти, остальныя завтра.

Нав. Я завтра двѣсти, а теперь сто.

Тет. *(даетъ)*. Я десять рублей. А тутъ, когда будутъ.

Поп. Возьмите пятьдесятъ *(даетъ)*.

Тет. *(Чурохову)*. Да смотри, не обмани! Дай росписку.

Нав. Не нужно, что за вздоръ.

Чур. Вы за кого меня считаете!

Тет. То-то! Обманешь, такъ мы тебя живьемъ разорвемъ.

Добр. А какъ же остальные, господа? ратманъ и засѣдатель земскаго суда, казначей, секретари?

Чур. Я поговорю.

Добр. Ну, господа, пора и по домамъ! Надо все-таки приготовляться. Я своего письмоводителя засадилъ. Не худо бы и вамъ служащихъ засадить! Прощайте. *(уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же безъ Добронравова.

Тет. Каковъ стряпчій?

Дор. Егоза!

Чур. Живодеръ.

Нав. Очень нужно губернатору такъ скоро пріѣхать! Однако, я завтра пошлю за служащими въ восьмомъ часу, будемъ сидѣть вплоть до губернатора. А теперь выпьемъ, и сыграемъ *(подходятъ и пьютъ)*.

Поп. И я тоже.

(Дамы уходятъ въ другую комнату).

Нав. *(Убираетъ со столовъ графины, бутылки и закуски.* Поп., Тет., Чур. и Зим. *ему помогаютъ. Садятся за столъ по лѣвую сторону,* Запр. и Нав. *садятся по правую сторону)*.

Поп. Въ преферансъ съ табелькой по копейкѣ.

Чур. Пожалуй *(играютъ)*.

Нав. Въ три листика.

Запр. Ладно. Я чего-то побаиваюсь, какъ бы губернаторъ не пріѣхалъ сегодня.

Нав. Да, вѣдь, ты знаешь стряпчаго! Онъ всегда вретъ.

Тет. *(играетъ)*. Безъ одной въ семи! Ахъ, чортова перечница! Да какъ это я?.. Это ты, Зиминъ, облапошилъ. Смотри, чучело!

Чур. Ладно, ладно! денежки подай.

Нав. Три копеечки продулъ.

Чур. А я двѣнадцать. Везетъ городничему.

Запр. На то и городничій, чтобы везло. *(Смѣются всѣ)*.

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и сторожъ.

Стор. *(входитъ запыхавшись)*. Карпъ Егорычъ! Губернаторъ васъ зоветъ...

Всѣ. *(Вскакиваютъ съ мѣстъ, выпрямившись и блѣднѣя, разинувъ рты, и только проговариваютъ)*: А!

Нав. *(растерявшись)*. Гдѣ? Кто?

Стор. Право, губернаторъ зоветъ, онъ въ судѣ.

Нав. *(идетъ къ нему, шатаясь)*. Есть тамъ кто?

Стор. Павелъ Тимоѳеичъ.

Нав. *(бьетъ себя по лбу)*. Пропалъ! *(Сторожъ уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и другой сторожъ.

2-й стор. *(Попову)*. Ваше высокоблагородіе, губернаторъ въ судѣ.

Поп. *(вскрикиваетъ)*. Что ты врешь, скотина! вонъ!

2-й стор. Они-съ дѣла на вышкѣ перебираютъ. *(Поповъ убѣгаетъ, за нимъ сторожъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же, безъ сторожа и Попова. Казакъ.

Каз. *(городничему)*. Ваше высокоблагородіе, губернаторъ васъ требуетъ.

Запр. *(ухвативъ животъ)*. Охъ, охъ!.. не могу!..

Всѣ. Пойдемъ *(переглядываются другъ съ другомъ и стоятъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Тѣ же и Добронравовъ (въ шубѣ и шапкѣ).

Доб. *(полусумасшедшимъ голосомъ, дико)*. Вотъ! Вотъ! ну, не говорилъ ли я вамъ? *(съ сердцемъ)*. Скоты! Что же вы стоите? Губернаторъ меня послалъ за вами! *(Обращаясь къ каждому)* А! а! а! а! *(Всѣ смотрятъ на него. Навалихинъ становится на колѣни)*. Вотъ, вотъ! Господи, Боже мой! *(отворачиваясь, въ изнеможеніи)*. Да будьте вы прокляты! *(плюетъ)*. Тьфу, вы черти эдакіе! *(Всѣ бѣгутъ изъ комнаты. Добр. за ними)*.

Тет. *(возвращается)*. Будь онъ проклятъ, очки потерялъ! *(ищетъ на полу и находитъ)*. Изломаны. Черти! *(бросаетъ ихъ на полъ и убѣгаетъ)*.

Запр. *(возвращается)*. Гдѣ же я шапку потерялъ? *(бѣгаетъ по комнатѣ, подбѣгаетъ къ окну и бьетъ его)*.

Мар. Ив. *(вбѣгаетъ)*. Что ты, батюшка, Левъ Назарычъ, съ ума что ли сошелъ!

Запр. Уйди, зашибу! Черти! *(убѣгаетъ въ двери налѣво)*.

Мар. Ив. *(крестясь).* Христосъ съ нимъ, Богородица!

Конецъ четвертаго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Комната второго дѣйствія.

ЯВЛЕНІЕ I.

Судейкинъ и Мареа Павловна (принаряженная, въ чепцѣ).

Суд. Слава Богу, все спокойно. Теперь я, кажется, доволенъ.

Мар. Павл. Еще бы не быть довольному. Надо благодарить Бога. Вотъ какъ-то наши господа?

Суд. Да, жалко ихъ! Я спокоенъ потому, что я одинъ уцѣлѣлъ,—мнѣ только сказалъ губернаторъ: «благодарю, благодарю, вы рѣдкій чиновникъ»! Ну будь я такой, какъ они, что бы было?

Мар. Павл. Да, ты рѣдкій чиновникъ.

Суд. И примѣрный мужъ. *(Цѣлуетъ Марѳу Павловну).* Я, вѣдь, не забылъ то, помнишь—билетъ-то? И сдержу свое слово.

Мар. Павл. Ну, полно. Я ужъ дала тебѣ слово. Теперь я поняла, что значитъ быть такимъ, какъ ты. Мнѣ все смѣшно, какъ губернаторъ ихъ отдѣлалъ.

Суд. Да, это одинъ изъ такихъ, какихъ у насъ еще не бывало. Дѣло знаетъ хорошо, честенъ, стоекъ. Онъ ужъ никогда не измѣнитъ своему слову. Главное, не фразеръ и не самодуръ. Онъ какъ пріѣхалъ,—прямо въ уѣздный судъ,—а я тутъ. Онъ проситъ у меня дѣла посмотрѣть: «я, говоритъ, повѣренный». Я и говорю: «Позвольте васъ спросить, милостивый государь, вы куда зашли?» «Въ уѣздный судъ», говоритъ. А я говорю: «Вы знаете законъ, когда нужно ходить и какъ ходить».—«Да мнѣ, говоритъ, некогда; пожалуйста, я посмотрю только».—«Вамъ сказано, я говорю, приходите во время присутствія съ просьбой. Да вы и не имѣете права смотрѣть дѣла». Онъ даетъ мнѣ 10-рублевую бумажку. «Пожалуйста, говорю я сторожу, выведи этого человѣка вонъ!» Онъ и пошелъ: «я, говоритъ, пойду къ судьѣ, пожалуюсь на васъ». Потомъ и спрашиваетъ сторожа: «Это кто?» Говоритъ: «Это засѣдатель Судейкинъ». «На,—говоритъ онъ сторожу и даетъ деньги,—поговори ему»... «Нѣтъ, этотъ не возьметъ; вы ужъ къ судьѣ подите или Чурохову». А я говорю: «Вы еще все здѣсь? Сторожъ, выведи. Да гдѣ дежурный? Нѣтъ?» Сторожъ говоритъ: «Я пойду къ судьѣ». А я говорю: «я подамъ рапортъ въ судъ»—и ухожу. Онъ идетъ ко мнѣ: «Покажите присутствіе, я человѣкъ заѣзжій, любопытенъ очень». Я не соглашаюсь. Онъ и говоритъ: «Благодарю васъ, г. Судейкинъ! Я требую показать!» «Позвольте знать, съ кѣмъ имѣю счастіе говорить?» Онъ назвалъ чинъ и фамилію. Я испугался, но говорю: «Покажите доказательства». Онъ далъ мнѣ предложеніе. Вотъ тутъ-то и пошла потѣха. Все перерылъ: «подъ судъ, говоритъ, отдамъ! Какая гадость»! Я все разсказалъ, всѣ плутни ихъ и про дѣла сказалъ. «Хорошо,—говоритъ,—я посмотрю еще». Потомъ вдругъ говоритъ сторожу: «сторожъ, поди за судьей, и скажи, что его зоветъ губернаторъ»; а самъ пошелъ въ земскій судъ. Тамъ засталъ драку; пошелъ на вышку, сторожъ не пускаетъ, онъ велѣлъ, и нашелъ дѣлъ семь закладенныхъ кирпичами. Каковъ! потомъ въ городническое правленіе,—безпорядокъ, пьянство, одно дѣло нашелъ въ печкѣ съ дровами; въ почтовую контору,—тамъ нашелъ подъ шкафомъ прошеніе къ губернатору, письмо... На другой день что было—ужасъ! Чурохова посадилъ въ котолажку, нарядилъ слѣдствіе изъ чиновника особыхъ порученій. Сидѣлъ бы каналья въ острогѣ, да поручители есть. Опекуна—отца Чурохова, подъ судъ упекъ, и назначилъ опекуна другого; стряпчему велѣлъ подавать въ отставку; судьѣ погрозилъ судомъ... всѣмъ, всѣмъ досталось. Кричитъ, ругается, топаетъ ногами: «воры, взяточники! лѣнтяи! Я васъ!.. Тебя въ отставку, тебя подъ судъ. Вотъ примѣръ—Судейкинъ! Благодарю васъ. Я васъ вознагражу». А Чуроховъ, молодецъ, собралъ полторы тысячи и никому не отдаетъ ихъ. Къ губернатору онъ не смѣлъ и сунуться, а чиновникъ погрозилъ сказать губернатору. Каковъ Судейкинъ! Посмотри, я получу орденъ или должность. Вотъ ужо будетъ имъ!

Мар. Павл. Ты, кажется, всю жизнь будешь хвалиться этою ревизіей. Посмотримъ дальше, что будетъ. У тебя еще одно дѣло не рѣшено. Ты все еще подъ судомъ.

Суд. Все-таки мнѣ судьи должность дадутъ. Посмотри, каковъ я буду. Первый судья такой буду.

Мар. Павл. И любить тебя никто не будетъ!

Суд. Пусть не любятъ. Буду, какъ должно быть честному судьѣ. А что, жена, если опредѣлятъ судьей? Славно будетъ!

Мар. Павл. Хорошо, да когда это будетъ? Вотъ ужъ два мѣсяца, а ничего нѣтъ.

Суд. Не знаю, чѣмъ кончатся ихъ затѣи. Вздумали написать на меня, что я беру взятки, сбиваю съ толку судью, членовъ, что я дѣла рѣшаю, какъ мнѣ хочется. Да еще говорятъ, что я хотѣлъ подарить губернатора и взялъ отъ Чурохова тысячу рублей.

Мар. Павл. Да это ничѣмъ не кончится. Вѣдь, чиновникъ съ полмѣсяца, какъ уѣхалъ, а все ничего нѣтъ. Ужъ, навѣрно, ихъ обвинятъ, а не тебя.

Суд. Странно только, какъ это дѣло о фальшивомъ монетчикѣ у меня оказалось?

Мар. Павл. Вѣрно, подбросили.

Суд. Ну, а они говорятъ, что я его хотѣлъ сжечь,—два мѣсяца держалъ. Я, впрочемъ, славно оправдался. Чиновникъ говоритъ,—они ничего не возьмутъ.

Мар. Павл. Да гдѣ имъ висельникамъ! Посмотримъ, что скажутъ дальше.

Суд. Но это такъ не кончится. Тутъ нарядятъ комиссію. Михайлова, канальи, вздумали обвинять.

Скажите пожалуйста! Ничего, говорятъ, не знаетъ; а я держу его руку. Ну, коли не нравится, смѣни его.

Мар. Павл. Ничего, все будетъ хорошо. Ты будешь судьей.

Суд. Что ни говори, а судьей быть мнѣ не хочется. Мнѣ надоѣла служба въ судѣ.

Мар. Павл. Еще чего вздумалъ!

Суд. Тебѣ, пожалуй, можно, а мнѣ не то. Вѣдь, это ничего не значитъ, чтобы тебя всѣ служащіе трепетали, когда ты въ судѣ, или когда кричишь на нихъ, какъ, бывало, нашъ предсѣдатель... Положимъ, я дѣло знаю хорошо, да все-таки соблазнишься—будутъ силой давать, ни за что. А какъ соблазнишься, и опять станешь брать..

Мар. Павл. Зато судья.

Суд. Нѣтъ, лучше выйти въ отставку, преспокойно. Благо земля у насъ есть. Я не могу понять: какая это у тебя бабушка померла, такая богатая?

Мар. Павл. Обыкновенная родная бабушка, дворянка. Я даже думала, что она умерла ужъ очень давно, а третьяго дня получаю духовное завѣщаніе: мельница, сорокъ крестьянъ и пятьсотъ десятинъ земли въ Нижегородской губерніи.

Суд. Вотъ что, Мареа, поѣдемъ туда, я выйду въ отставку. Крестьянъ считать нечего, они ужъ теперь не наши, а земля будетъ приносить доходъ.

Мар. Павл. Нѣтъ, ты послужи. Ты еще тридцати лѣтъ не прослужилъ. Вонъ какіе служатъ въ губернскомъ—сорокъ лѣтъ прослужилъ, а еще служитъ. Вѣдь, какъ и не служить: доходы получаетъ, и жалованье идетъ. Конечно, ты не будешь получать доходовъ, такъ будешь получать жалованье.

Суд. Но мнѣ, право, надоѣло служить. Служить честно въ уѣздномъ городѣ или хоть въ губернскомъ, хоть на какихъ должностяхъ, никакъ нельзя. Одни служатъ, берутъ оттого, что они уже привыкли, другіе оттого, что дорого содержаніе. На дороговизну вотъ всѣ ссылаются и берутъ. Не бери ты, имъ не понравится, ты имъ будешь мѣшать, и они тебѣ сдѣлаютъ-таки какое-нибудь зло. Будемъ ждать реформы, авось, къ лучшему будетъ; тогда я могу поработать.

Мар. Павл. Какъ знаешь, но у насъ дочь, сынъ!

Суд. Дочь какъ-нибудь пристроимъ, но только не за здѣшнихъ.

Мар. Павл. Избави Богъ, мы ей въ губернскомъ найдемъ жениха.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же и Коля съ Ольгой.

Ольга. Вамъ пора, папаша, гостей звать, скоро первый часъ.

Суд. Успѣю еще.

Коля. Вамъ который годъ, папа?

Суд. Назадъ тому мѣсяцъ, сорокъ шестой пошелъ.

Коля. А тебѣ, Оля?

Ольга. А мнѣ скоро двадцать первый будетъ.

Мар. Павл. Еще четыре мѣсяца. Въ это время можно выйти замужъ, умереть.

Ольга. Я не желаю ни того, ни другого.

Мар. Павл. Полно!

Ольга *(смѣясь)*. Право!

Мар. Павл. Самой давно, поди, хочется замужъ.

Ольга. Я васъ не понимаю что-то, папаша!

Мар. Павл. Чего не понимать-то. Я вижу твои продѣлки.

Ольга *(про себя)*. Вотъ бѣда! неужели они о моей перепискѣ узнали. Но, Михайловъ! *(Марѳѣ Павловнѣ)* Нѣтъ, не можетъ быть...

Суд. Чего запираться!

Мар. Павл. Ужъ не можетъ быть, чтобы ты, въ твои лѣта, не любила. Ну скажи, кого?

Суд. Ну что же, Оля?

Мар. Павл. Вотъ и видно, что любишь.

Ольга. Маменька!

Мар. Павл. Какая съ нами ты стыдливая, а безъ насъ такъ въ такомъ восторгѣ. Ну, ты не бойся. Я сама, вѣдь, много разъ любила. Ты любишь Зимина?

Ольга *(вскрикивая)*. Я? Вотъ новость!

Суд. А зачѣмъ краснѣешь?

Ольга. Такъ неужели, если я краснѣю, такъ, по-вашему, люблю. Я оттого краснѣю, что мнѣ досадно и совѣстно ему сказать, что онъ глупъ.

Мар. Павл. Ну, Чурохова?

Ольга. У этого ужъ есть невѣста, дочь бургомистра, которая уже родила; да самъ онъ подъ судомъ. Я его терпѣть не могла и раньше этого.

Суд. Ну исправника?

Ольга *(смѣясь)*. Носъ большой.

Мар. Павл. Почтмейстера?

Ольга. Чучело въ очкахъ!

Суд. Ну, а Михайловъ каковъ?

Ольга. Я, наконецъ, не понимаю васъ, папаша. Къ чему и для чего вы выпытываете у меня, кого люблю! Неужели вы хотите предложить мнѣ жениха? Вѣдь, кажется, эти времена выходятъ у насъ. О Михайловѣ я скажу, что хоть я его люблю, но люблю только потому, что онъ умѣнъ, поэтъ и благороденъ. Но... онъ не можетъ быть моимъ мужемъ. Только, папаша, вы правду сказали: мнѣ пора замужъ... Нѣтъ не то, не пора... а наступило время... Я прошу вашего согласія.

Суд. Вотъ-те разъ. Но кто же женихъ?

Ольга. Согласитесь, папа!

Суд. Ты скажи напередъ, кто онъ? Онъ, можетъ-быть, негодяй, кучеръ какой-нибудь, плутъ, взяточникъ...

Ольга. О, нѣтъ! онъ не кучеръ, не взяточникъ. Онъ Алексѣй Николаичъ Карташевъ, чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ.

Суд. *(встаетъ)*. Вотъ тебѣ разъ!

Мар. Павл. Не можетъ быть!

Ольга. Я вамъ разскажу. Когда онъ пріѣхалъ изъ Петербурга то жилъ въ нашемъ домѣ, въ другой половинѣ, помните, мнѣ тогда шестнадцатый

годъ былъ. Онъ жилъ у насъ полгода. Служилъ столоначальникомъ въ губернскомъ правленіи мѣсяца два, потомъ перевели его младшимъ помощникомъ правителя канцеляріи при губернаторѣ. Когда онъ жилъ у насъ на хлѣбахъ, я его полюбила, онъ такой прекрасный, милый—вы знаете. Онъ меня тоже полюбилъ. Когда съѣхалъ съ квартиры, мы съ нимъ часто видались на бульварѣ, и на берегу, и въ церкви, вездѣ. Но... мамаша, простите, я вамъ ничего не говорила, вы его не любили за то, что онъ васъ чѣмъ-то обидѣлъ. Онъ писалъ мнѣ сюда письма, и теперь пишетъ...

Суд. Ахъ, ты плутовка!

Ольга. Простите, папаша, мама! *(цѣлуетъ обоихъ).*

Суд. и Мар. Павл. Ну, ну.

Ольга. Папаша, вы теперь судья, съ чѣмъ имѣю честь поздравить!

Суд. Какъ такъ?

Ольга *(вынимаетъ письмо и даетъ его Судейкину).* Читайте, вчера я получила.

Суд. *(читаетъ).* «Дорогая Ольга! Прости—я долго не писалъ, служба мѣшала. Скажу тебѣ вотъ что: если ты меня не разлюбила, то жди на другой день по полученіи моего письма. Я давно бы былъ у васъ, да вотъ вторую недѣлю вожусь съ здѣшними властями: такая безтолочь и путаница, что не знаю, какъ я буду радъ, если кончится все скоро. Да я кончу сегодня. Завтра вечеромъ буду у васъ. Я ѣду на слѣдствіе по жалобѣ вашего бургомистра на Чурохова объ... Ну, сама знаешь, отчего родилось дитя у дѣвицы Прасковьи Ивановны Дороѳеевой! Поздравь своего папа съ тѣмъ, что онъ опредѣленъ исправляющимъ должность уѣзднаго судьи въ вашъ городъ. Надо бы давно отправить бумагу, да я взялъ ее къ себѣ, по пути; везу съ собой отчетъ по ревизіи губернатора, который присланъ мнѣ вчера. Это я везу для утѣшенія Павла Тимоѳеича, и хочу прочитать вслухъ. Къ тому же, новыя должностныя лица уже отправились. Скажи твоему папа про нашу любовь, поклонись при этомъ отъ меня ему и твоей мачехѣ, и, наконецъ, попроси согласія на... бракъ».

Суд. Ай, да Ольга! *(цѣлуетъ ее)* Молодецъ!

Мар. Павл. Я ему прощаю все. Онъ меня укорилъ какъ-то, что я плутую много, и тебя, Паша, обманываю. Богъ тебя благословитъ.

Ольга *(обнимаетъ отца и мать).* О! Какъ я васъ благодарю!

Суд. Пойду, хвачу бальзаму! Пойдемъ-ка, Ольга, сладкой.

Ольга. Благодарю, папа!

Суд. Я пойду теперь звать гостей! Всѣхъ, всѣхъ назову.... и Чурохова позову!.. Судья! Какой я молодецъ...

Мар. Павл. Орелъ!.. Орелъ!.. Пойдемъ выпьемъ... *(уходятъ).*

ЯВЛЕНІЕ III.

Ольга, Коля и Михайловъ.

Мих. *(входя).* Съ именинникомъ.

Ольга. Merci.

Мих. Здоровы ли, Николай Павлычъ?

Коля. Dieu merci! *(Коля убѣгаетъ и приноситъ двѣ папиросы).*

Ольга. Ну, какъ вашъ переходъ?

Мих. Ничего нѣтъ еще. Гдѣ votre père?

Ольга *(смѣясь).* Уѣхалъ звать гостей.

Мих. У васъ сегодня балъ?

Ольга. Ну... Но кромѣ бала у насъ есть радость. Къ намъ будетъ гость.

Мих. Кто же?

Ольга. Мой старый другъ.

Мих. А!.. Вашъ женихъ, конечно...

Ольга. Да! И какъ я рада. Но... Михайло Иванычъ, вы сердитесь?

Мих. Нѣтъ! Я вамъ сказалъ, что я только другъ вашъ... Я радъ, что скоро кончится вашъ романъ.

Ольга. Вы, право, говорите, будто равнодушны.

Мих. Что же дѣлать, Ольга Павловна! Мы не рождены другъ для друга, хотя и понимаемъ, разсуждаемъ одинаково. Между мной и вами, въ нашемъ общественномъ положеніи, есть то разстояніе, что вы не можете выйти за меня замужъ. Вамъ не дозволяетъ это общественное мнѣніе, приличіе, такъ сказать,—и дай бы Богъ, чтобы это приличіе скорѣе вышло изъ своего предѣла; дай Богъ, чтобы женщина признавалась существомъ самостоятельнымъ, а не игрушкой мужчины, воли другихъ. Будемъ ждать этой свободы. Быть можетъ, вы безъ этого меня полюбили бы... но и тогда вы полюбили бы не надолго... тѣмъ болѣе, у васъ есть старый другъ...

Ольга. Вы, кажется, живете своими идеями, своею поэзіей. Бросьте ее. Вы съ ней ничего не выиграете.

Мих. Ольга Павловна! Позвольте васъ спросить, чѣмъ помѣшали вамъ моя поэзія, мои сочиненія?

Ольга. Я не говорю, что помѣшали. Мнѣ жаль васъ, жаль, что жизнь-то ваша тратится ни на что. Вѣдь вашихъ сочиненій, кромѣ меня, никто не читаетъ.

Мих. Это правда, но писать я буду до тѣхъ поръ, пока будутъ силы, пока какіе-нибудь перевороты въ жизни не заставятъ меня бросить.

Ольга. Вотъ, если вы женитесь, вамъ некогда будетъ писать.

Мих. Жениться! О, я не способенъ на этотъ рискъ. Я могу только любить, но не жениться.

Ольга. Какія у васъ идеи! Вы либералъ!

Мих. Найдите, укажите мнѣ невѣсту. Мнѣ нужно, напримѣръ, такую которая бы сочувствовала мнѣ, понимала меня, утѣшала меня, какъ другъ. Мнѣ хочется радости, а не муки, а такихъ-то женщинъ нашелъ я только васъ однѣхъ, Ольга Павловна...

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и изъ комнаты входятъ Навалихинъ, Марья Ивановна, Зиминъ, Запесошный, Поповъ, Дороѳеевъ, Степанида Львовна. За ними Мареа Павловна. Въ двери изъ прихожей входитъ Тетеринъ. Михайловъ уходитъ въ комнаты съ Колей. Гости одѣты по праздничному. У Степаниды Львовны на головѣ шаль. Они всѣ подходятъ къ Ольгѣ, поздравляютъ ее съ именинникомъ. Поздравляютъ Мареу Павловну).

Нав. А гдѣ же Павелъ Тимоѳеичъ?

Мар. Павл. Онъ ушелъ звать гостей.

Тет. *(Ольгѣ)*. Ну-съ, что подѣлываете?

Ольга *(смѣясь)*. Не знаю, что и сказать вамъ.

Тет. Вы чисто пишите, почеркъ у васъ боекъ. А позвольте васъ спросить, кому это вы письма все пишите?

Ольга. Какой вы любопытный!

Тет. А право?

Ольга *(смѣясь)*. Много будете знать, скоро состаритесь.

Тет. А я знаю... *(тихо ей)* Душкѣ Карташеву... Такъ ли?

Ольга *(отходя)*. Ахъ, Боже мой, да вамъ-то какое дѣло?

Поп. *(Навалихину)*. Ну что, судья, дрожитъ сердечко?

Нав. Что дрожать? Увольнять нечего. Пусть кого другого уволятъ, а не меня.

Дор. Ну, будетъ, знать-то, мнѣ... Я все еще животомъ маюсь съ той поры, какъ губернаторъ меня мушторилъ.

Зим. А онъ, говорятъ, вамъ такъ и сказалъ: «э, братъ, ты и читать-то не умѣешь».

Дор. *(сердясь)*. Небось, получше его сумѣю.

Ольга *(подойдя къ Зимину)*. Что подѣлываете?

Зим. Ничего. Послѣ обѣда, обыкновенно, сплю; вечеромъ пью чай, играю на бандурѣ, или иду въ гости.

Ольга. А книгъ все не читаете?

Зим. Нѣтъ.

Ольга *(смѣясь)*. Отчего же?

Зим. Я не охотникъ, да и онѣ меня не завлекаютъ.

Ольга. Напрасно. Я вамъ совѣтую.

Зим. Я въ карты лучше сыграю, чѣмъ прочитаю.

Ольга *(строго)*. Я хочу, чтобы вы читали. Непремѣнно.

Зим. О, буду, буду читать.

Ольга. Вы не раскаетесь.

Зим. Очень радъ *(цѣлуетъ руку)*.

Нав. *(къ Дороѳееву)*. Каковъ Зиминъ!

Дор. А что?

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же. Артемій приноситъ столъ, стулья, ставитъ на одинъ столъ водку, вино и закуску, а другіе раскрываетъ. Запрягалкинъ и Добронравовъ. За ними Судейкинъ. Всѣ кланяются и здороваются.

Добр. *(Попову)*. Давно васъ не видать, а, кажется, подъ одною крышей служимъ.

Поп. Нездоровъ былъ. Все съ ревизіи проклятой.

Нав. Я, по отъѣздѣ губернатора, двѣ недѣли пластомъ лежалъ.

Тет. Ну и губернаторъ! Такая птичка, вездѣ все видитъ!

Добр. Такого долго не забыть. Ужъ я ума не приложу, что это было? Просто теперь такъ и боюсь: такъ вотъ подъ судъ и упечетъ. Вѣда!

Поп. *(Тетерину)*. Онъ вамъ что сказалъ?

Тет. «Подъ судъ упеку, говоритъ, пріятель»! И чортъ бы ихъ побралъ эти письма, какъ они залежались не отправленными? Да я и не боюсь: я ужъ послалъ въ контору пуда три орѣховъ. Пусть объѣдаются. А Чуроховъ-то, каналья?..

Дор. Не поминай ты его, злодѣя!

Мар. Ив. Я никакъ не ожидала отъ Чурохова. Деньги взялъ себѣ, да и запирается: я, говоритъ, вотъ (*тихо*) Судейкину отдалъ.

Суд. (*гостямъ*). Пожалуйте! (*Всѣ пьютъ*).

Доб. А, знать, намъ достанется на калачи всѣмъ.

Тет. Ну и доставайся!

Запр. Ты нахваталъ!

Запес. А мнѣ, горемычному, больше всѣхъ.

Поп. Я это удивляюсь, отчего губернаторъ денегъ не взялъ?

Тет. Потому, что онъ птичка. Баситъ и только.

Добр. (*съ сердцемъ*). Я вамъ говорилъ, говорилъ: «это будетъ скверно». А вы: «давай», да и съ меня содрали, а кому? Скоту Чурохову!..

Суд. Да онъ, господа, деньги вовсе не казалъ губернатору: быть-можетъ, и взялъ бы...

Добр. Взялъ! Какъ бы не такъ. А отчего вы не отдали, какъ Чуроховъ васъ просилъ?

Тет. Отчего? А?

Нав. Это нехорошо, Павелъ Тимоѳеичъ. Взять деньги и не отдать.

Суд. То-есть, что это,—я опять что-то новое слышу?

Нав. Да вы зачѣмъ деньги себѣ взяли?

Суд. Помилуйте, господа! Съ чего вы взяли? Я, вѣдь, объясняю, что денегъ не бралъ. Ну неужели вы еще вѣрите такому плуту, какъ Чуроховъ.

Всѣ (*кромѣ женщинъ*). Именно!

Суд. Напрасно.

Добр. А дѣло-то зачѣмъ у себя держали? Въ описи, что есть, оно не значилось. Чужія дѣла прятали у себя дома, а свои вершили. Хорошо! Знаемъ васъ...

Поп. Подхалюза вы, Павелъ Тимоѳеичъ!

Суд. Неужели я воръ, по-вашему? Что вы, Господь съ вами!

Дор. Врете, братцы, Павелъ Тимоѳеичъ честный.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ же, Артемій и стряпка (съ закуской).

Поп. Всему злу виноватъ городничій.

Запр. Чѣмъ?

Поп. Людей обирать умѣете, а насъ оберегать такъ нѣтъ. Губернаторъ пріѣхалъ, а у него полиція пьяна, и самъ пьянъ.

Запр. (*съ сердцемъ*). Ужъ молчалъ бы! Самъ-то исправенъ ли? Вотъ уберутъ тебя, такъ узнаешь.

Дор. (*Ольгѣ*). А хересъ-то откуда идетъ, барышня? Изъ какихъ странъ? У меня онъ есть.

Ольга. Изъ Испаніи.

Дор. Тамъ Суворовъ былъ.

Ольга. Онъ въ Италіи да Швейцаріи былъ, а въ Испаніи не былъ.

Тет. Ну, извините, онъ и Африку объѣздилъ.

Зим. Какъ, на почтовыхъ?

Тет. На слонѣ. Тамъ почты нѣтъ.

Нав. Ну, въ Африкѣ Суворовъ не былъ.

Поп. Въ Египтѣ былъ. (*Закусываютъ*).

Дор. (*беретъ тарелку со стола*). Эхъ, канальство! Руки обжегъ. Пустите-ка къ столу-то!

Зим. Извольте-съ (*отходитъ*).

Степ. Льв. (*беретъ тарелку и роняетъ ее изъ рукъ*). Ахти мнѣ-чиньки! Ахти-ти, руки обварила! (*дуетъ на руки*).

Дор. Ахъ, ты! Дурачина!

Мар. Павл. Извините, право... у насъ такъ неудобно...

Нав. Вотъ еще...

(*Въ продолженіе этой сцены Ольга часто глядитъ въ окно*).

Ольга. Господи, да вѣдь это онъ! (*Бросается изъ комнаты*).

Всѣ. Что такое? Куда это—онъ?

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Ольга и Карташевъ (въ дверяхъ).

Карт. Ну, веди меня къ своимъ, представляй; я, вѣдь, здѣсь ужъ съ полчаса.

Ольга. Да ты остановись у насъ... (*входятъ*). Папа! это Карташевъ.

Анна Ив. (*тихо*). Кто же это?

Степ. Льв. Должно быть, женихъ ея?

Суд. Очень, очень рады! Имѣю честь представить, господа, Алексѣй Николаевичъ Карташевъ.

(*Всѣ кланяются*).

Суд. Алексѣй Николаевичъ, рекомендую вамъ (*указываетъ*), уѣздный судья Карпъ Егорычъ Навалихинъ, уѣздный стряпчій Николай Николаичъ Добронравовъ, городничій Левъ Назарычъ Запрягалкинъ, бургомистръ Иванъ Захарычъ Дороѳеевъ, Карпъ Назарычъ Поповъ, исправникъ, Сила Филипычъ Тетеринъ, почтмейстеръ.

Карташевъ (*Кланяется, не протягивая руки*). Очень радъ познакомиться!

Поп. Нѣтъ ли новостей?

Карт. Я мало занимаюсь политикой, постоянно въ разъѣздахъ. Такъ, развѣ когда пробѣжишь газету. Особеннаго ничего нѣтъ.

Нав. О наборѣ не слышно?

Карт. Да, надо полагать, будетъ скоро.

Нав. Сколько человѣкъ съ тысячи?

Карт. Неизвѣстно.

Дор. Осмѣлюсь спросить: у васъ почемъ хлѣбъ?

Карт. По 10 рублей мѣшокъ 1-й сортъ.

Дор. А у насъ 12.

Поп. О ревизіи губернатора, чай, поговариваютъ?

Карт. Какъ же.

Добр. Что же-съ?

Карт. Мѣстъ много вакантныхъ будетъ.

Добр. А! Я подалъ прошеніе въ отставку, не знаю, уволили или нѣтъ.

Карт. Вы? уволены-съ.

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ же и Михайловъ.

Ольга. (*Указывая на Мих.*). Это мой другъ.

Карт. А! очень пріятно (*жметъ ему руку*).

Карт. Господа, я хотѣлъ вамъ сообщить важную новость. Только боюсь, какъ бы васъ не разстроить.

Тет. Ничего.

Поп. Мы съ удовольствіемъ узнаемъ...

Карт. Но мнѣ, право, не хочется дѣлать это здѣсь, при всѣхъ. Вы узнаете завтра же все.

Добр. Если можно, такъ завтра.

Карт. Да, ужъ лучше завтра.

Поп. Скажите теперь! Что будетъ, то и будь, ужъ лучше разомъ.

Тет. Теперь.

Карт. Но при всѣхъ? Вѣдь неловко, господа. Впрочемъ, если хочете, вотъ вамъ, г. судья, указъ Правленія (*отдаетъ. Всѣ къ нему подбѣгаютъ. Навалихинъ трясется и читаетъ, шепчетъ*): подъ судомъ, въ отставкѣ по 3 пункту... Судейкинъ —судья! (*Смотритъ на Судейкина съ звѣрскимъ видомъ*).

Поп. Какъ? Что вы?

Тет. (*тихо*). Смотри: по 3 пункту... засѣдателя Судейкина допустить къ исправленію должности судьи.

Карт. (*городничему и исправнику даетъ пакеты*). Это вамъ. (*Тѣ читаютъ. Прочитавъ, Поповъ даетъ бумагу Добронравову*).

Запр. (*кричитъ*). Меня? подъ судъ.

Тет. (*про себя*). Таковскій былъ, не заѣдайся!

Карт. (*Добронравову*). Вамъ ничего. Вы уволены по прошенію, но только съ занесеніемъ въ формулярный списокъ и того, что вы подъ судомъ. Вотъ отчетъ по ревизіи (*отдаетъ тетрадь*), читайте отсюда (*показываетъ*).

Добр. (*съ умоляющимъ видомъ Карташеву*). Да за что же? Господи помилуй!

Тет. (*Карташеву*). А о почтѣ тутъ нѣтъ?

Карт. Читайте.

Тет. (*читаетъ*). Эдакіе скоты? Обо мнѣ департаменту донесли! Вотъ и будетъ новый почтмейстеръ! Хорошо еще,—есть чѣмъ жить, на годъ достанетъ. Ахъ они, ненасытные черти! Послать бы надо денегъ, такъ и все бы ладно было... Та!—

та! бургомистра, по неспособности, уволить, не дозволяя ему впередъ никакихъ должностей. Что, Иванъ Захарычъ, пришла намъ пора выходить въ отставку. Ну, братъ, принимай въ приказчики. Эхъ, ну ее и службу! (*Указывая на прочихъ, которые въ такомъ положеніи, будто что обдумываютъ*). Смотри, смотри, вотъ бабы, чуть не плачутъ.

Дор. Нѣтъ, мнѣ наперво отдай триста рублей, тогда пойду въ отставку. Я все губернатору обскажу!

Карт. Можете. Напишите мнѣ, я что-нибудь сдѣлаю.

Дор. Ахъ, батенька! Ужъ я тебѣ сто рублевъ не пожалѣю.

Карт. Теперь, господа, все. Новыя должностныя лица пріѣхали сюда, и завтра вступятъ въ свои обязанности. Зачѣмъ пріѣхалъ я, вы узнаете завтра, а теперь выпьемъ (*пьетъ. Остальные сидятъ*). Да, засѣдатель Зиминъ уволенъ по прошенію въ отставку.

Зим. Я не подавалъ-съ.

Карт. Не знаю. Только здѣсь говорится. (*Показывая бумагу Судейкину*). Поздравляю васъ и васъ, Мареа Павловна, и васъ, Ольга Павловна!

Мар. Павл. (*Судейкину*). Ну, не говорила ли я тебѣ, что ты будешь судьей!

Суд. (*гордо*). Я грудью заслужилъ.

Мих. Имѣю честь поздравить.

Суд. Благодарю. (*Карташеву*). Я вамъ рекомендую этого молодого человѣка, онъ честный и благородный.

Карт. Я ужъ слышалъ.

Ольга. Господи! Какъ я счастлива!

Нав. (*Тетерину*). Экое счастіе. Столкнулъ меня, на живое мѣсто сѣлъ. (*Сжимаетъ кулакъ*).

Тет. Вотъ и придешь домой ничѣмъ, а ушелъ-то судьей!

Поп. Погоди, пріятель, просьба нашая общая что-нибудь да скажетъ.

Мих. (*вынимаетъ два пакета*). Вотъ два секретные пакета: одинъ уѣздному суду—изъ Губернскаго Правленія, а другой вамъ—отъ губернатора (*Карташеву отдаетъ толстый пакетъ; а другой отдаетъ Судейкину. Карташевъ и Ольга уходятъ въ комнаты*).

ЯВЛЕНІЕ X.

Тѣ же, безъ Ольги и Карташева.

Нав. (*строго*). Гдѣ пакетъ?

Суд. У меня.

Нав. (*съ сердцемъ*). Кто судья?

Суд. Я.

Нав. (*также*). Врете! Я вамъ должности не сдавалъ; отдайте пакетъ!

Всѣ. Отдай! (*подходятъ къ Судейкину*).

Суд. (*Новолихину*). На-те.

Нав. (*читаетъ; его окружаютъ всѣ, кромѣ Судейкина и Михайлова, которые слѣдятъ за Навалихинымъ. Навалихинъ поднимаетъ письмо*). Браво!

Гости Судейкину. Что, что?! Гусь ты эдакой, поналъ и ты! И часу не былъ судьей!

Суд. Господа, вы забылись! Я прошу васъ... Вы изъ приличія вышли.

Нав. (*дрожа отъ злости, подходитъ къ Судейкину и бросаетъ въ его лицо бумагу*). На, подлецъ, читай!

Дор. И ты, братъ милый, подъ судомъ!

Суд. (*читаетъ, въ изнеможеніи садится на стулъ и облокачивается на столъ*). Какъ, за что? (*задумывается*).

Мар. Павл. Господа, что это такое? Что за подлость! Паша! что съ тобой? (*Читаетъ бумагу и вскричавъ*): Ахъ! (*падаетъ безъ чувствъ*).

Мих. Что это такое?

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣ же и Ольга съ Карташевымъ (Ольга плачетъ и держитъ Карташева за руку).

Ольга. Алексѣй, останься, погоди! пощади насъ!.. (*увидѣвъ мать и отца*). Боже мой!.. Мама! Воды! Папаша, что съ вами, не бойтесь, насъ оклеветали!

Суд. (*очнувшись*). Я... подъ судомъ!

Карт. Ну, Ольга Павловна, прощайте. Пока дѣло не кончится, я не могу быть вашимъ женихомъ.

Ольга. Алеша!

Карт. (*къ Судейкину*). Павелъ Тимоѳеичъ, прошу васъ извинить и простить меня... Не я виноватъ. Я долженъ исполнить свой долгъ. Дѣло это я поведу безпристрастно. И такъ (*встаетъ посерединѣ, держа въ рукахъ бумагу, читаетъ строго и дрожащимъ голосомъ*) именемъ закона, вы, г. Судейкинъ, съ своею супругою и дочерью... и вы г. Михайловъ, съ сегодняшняго дня подъ домашнимъ арестомъ... (*Смотря на Ольгу*). Теперь я для васъ чужой. (*Уходитъ*).

Ольга. Ахъ! (*падаетъ на стулъ*).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Тѣ же безъ Карташева.

Мих. Господи! что это такое? Карташевъ говоритъ,—и я подъ арестомъ!..

Гости. (*Переглядывались съ испугомъ всѣ*). Что? что?

Мар. Павл. Подъ судомъ!

Ольга. Папа!

Мих. (*читаетъ про себя бумагу. Гости переглядываются другъ съ другомъ, смотрятъ на то мѣсто, гдѣ стоялъ Карташевъ и одинъ за другимъ уходятъ*). Павла Тимоѳеича обвинили во взяточничествѣ, за разныя злоупотребленія, за кражу дѣла съ намѣреніемъ сжечь. Мареу Павловну, что она взяла съ Чурохова 300 рублей, и дѣло о раскольникахъ рѣшили не по закону! Какъ! Я самъ переписывалъ протоколъ... Меня, что я промоталъ казенныхъ денегъ

50 руб... когда ихъ украли! И всѣ мы подъ судомъ! Господи, что же чиновникъ-то дѣлалъ? Назначена коммисія!..

Ольга *(бросается отцу на шею)*. Папаша!

Суд. Здѣсь еще!.. Я сейчасъ пойду...

Ольга. Куда?

Суд. Вязать меня! Дудки! Я судья! Вотъ что-съ! Хо, хо, хо!..

Мар. Павл. Что съ нимъ?..

Суд. *(встаетъ)*. Пойдемъ, пойдемъ... Эдакая бѣда? Фи!.. Брось ты и плюнь ему!

Ольга *(со слезами)*. Папа!

Мар. Павл. *(плачетъ)*. Паша!.. Извели его у меня. *(На колѣняхъ)*. Господи, Паша правъ: я взяла отъ Чурохова 300 рублей, чтобы сжечь дѣло...

Мих. *(смотря на двери въ прихожую)*. Господа! вотъ до чего довели вы честнаго человѣка! Смотрите, любуйтесь, казнитесь! Вамъ ничего!.. *(плачетъ)*.

Ольга. *(Михайлову)*. Михайловъ, другъ мой, милый мой, не оставляйте насъ!.. Я не люблю никого, кромѣ васъ.

Занавѣсъ.

БИБЛІОГРАФІЯ СОЧИНЕНІЙ Ѳ. М. РѢШЕТНИКОВА.

(1861 — 1872)

Составилъ **П. В. Быковъ.**

«ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ».

1861.

Библіотека для чтенія чиновниковъ пермской казенной палаты. (№ 52, 25 декабря, стр. 797—800). Подписано: *Ѳ. Р.* [1]).

«СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА».

1863.

На палубѣ. (№ 222, 21 августа, стр. 973 — 974. Фельетонъ). Дата: августа 1863. С.-Петербургъ.

***Складчина.** I—VI, (№ 230, 30 августа, стр. 1003 и № 232, 2 сентября, стр. 1011—1012. Фельетонъ). Дата: 23 августа 1863.

***Лоттерея.** I—VII. (№№ 240 и 241; 11 и 12 сентября, стр. 1043 и 1047—1048. Фельетонъ). Дата: 2 сентября 1863.

***Горнозаводскіе люди.** Разсказы полѣсовщика. I. Люди, (№ 307, 18 ноября, стр. 2097. Фельетонъ). *Безъ подписи.*

***Горнозаводскіе люди.** Разсказы полѣсовщика. II. Полѣсовщикъ (№№ 312 и 315, 23 и 26 ноября, стр. 2115—2116 и 2127—2128. Фельетонъ). *Безъ подписи.*

***Горнозаводскіе люди.** Разсказы полѣсовщика. III. Три брата (№№ 339 и 342; 21 и 24 декабря, стр. 1317—1318 и 1327—1329. Фельетонъ).

1864.

Съ Новымъ годомъ. (№№ 28 и 29; 29 и 30 января, стр. 96 и 100).

«СОВРЕМЕННИКЪ».

1864.

Подлиповцы. Этнографическій очеркъ (томъ CI и CII, №№ 3, 4 и 5, мартъ, апрѣль, май, стр. 155—188, 411—447 и 45—100, отд. I).

Ставленникъ. Разсказъ (т. CII и CIII, №№ 6, 7 и 8, іюнь, іюль, августъ, отд. I, стр. 305—360, 71—108 и 231—290).

Макся. Разсказъ (т. CIV, № 10, октябрь, отд. I, стр. 379—423).

1865.

Похожденія бѣднаго провинціала въ столицѣ. Разсказъ (т. CIX, № 11—12, ноябрь—декабрь, отд. I, стр. 409—470). Дата: Г. Соликамскъ [2]).

1866.

Горнорабочіе. Романъ, часть I, гл. I—XII (т. CXII, №№ 1 и 2, январь и февраль, отд. I, стр. 69—128 и 577—607).

«РУССКОЕ СЛОВО».

1864.

Воспоминанія дѣтства. (№№ 10 и 11, октябрь и ноябрь, отд. I, стр. 289—322 и 1—29) [3]).

1865.

Между людьми. Изъ воспоминаній прошлаго, часть I, гл. I—XXI и часть II, гл. I—XI (№№ 1, 2 и 3, январь, февраль и мартъ, отд. I, стр. 1—44, 108—148 и 127—165).

«ДѢЛО».

1866—1867.

Глумовы. Романъ, часть I, гл. I—IV (№ 2, декабрь, отд. I, стр. 1—32, гл. V—XI, № 3, январь, 1867, отд. I, стр. 23—83, гл. XII—XVI, № 4, февраль, отд. I, стр. 1—44).

Часть II, гл. I—III, IV и XI (№ 7, іюль, отд. I, стр. 38—93, гл. VI—X, № 9, сентябрь, отд. I, стр. 1—57).

N. B. Звѣздочкою означены произведенія, не вошедшія въ прежнія изданія сочиненій Ѳ. М. Рѣшетникова.

[1]) Статья эта не вошла въ настоящее Собраніе, потому что она представляетъ не литературное сочиненіе, а газетное извѣщеніе.

[2]) и [3]) Означенныя статьи не помѣщены въ Собраніи, такъ какъ онѣ цѣликомъ вошли въ романъ „Между людьми“.

«ИСКРА».

1865.

Кумушка Мокроносиха. Разсказъ (№ 42, стр. 554—562).

Старые и новые знакомые. Дорожныя записки. I (№ 44, стр. 589—594).

1866.

Ильичъ. Разсказъ чиновника. (№ 5, стр. 69—71).

Внучкинъ. Разсказъ., гл. I—IX (№№ 11, 12, 13 и 16, стр. 143—145, 155—158, 169—172 и 205—208).

***На заработки.** Сцены. (№№ 25 и 26, стр. 311—312 и 327—328).

Холера (современныя сцены). Въ будни. (№ 30, стр. 400 — 402). Воскресенье.—У часового мастера.—Во второмъ часу.—Въ квартирѣ портного (№ 31, стр. 414—415). Дата: іюль 1866.

Въ Петергофѣ. Сцены. (№ 32, стр. 424 - 427).

***На большой дорогѣ.** Сцены. I. Встрѣчные. II. Несчастіе. III. Воръ (№ 35, стр. 455—457).

***Въ деревню!** Сцены (№ 43, стр. 564—568).

1867.

***Дѣдушка Онисимъ.** Разсказъ. (№ 10, 19 марта, стр. 122—125).

***Сутки въ казенной квартирѣ.** Очеркъ. (№№ 15 и 16. 30 апрѣля и 7 мая, стр. 182—185 и 200—201)

1868.

Ярмарка въ еврейскомъ городѣ. Сцены, I—V. (№ 33, 1 сентября, стр. 393—398).

1870.

***Изъ неизданнаго романа «Чужой хлѣбъ».** Сидѣлка (№ 5, 29 января, столб. 174—187).

Повѣсть объ отставномъ коллежскомъ ассесорѣ Зуботычинѣ, наживающемъ деньги посредствомъ своихъ дочерей. Изъ нравовъ Петербургской Стороны. (№№ 18, 20 и 21; 8, 22 и 29 мая, столб. 622—627, 695—698 и 721—727).

***На общественномъ гуляньѣ въ Лѣтнемъ саду.** (28 іюня 1870 г.). I. Около Лѣтняго сада. II. Въ Лѣтнемъ саду (№ 29, 26 іюля, столб. 967—974).

«БУДИЛЬНИКЪ».

1866.

Прокопьевна. Разсказъ. (№ 28, стр. 109—111).

Изъ дорожныхъ замѣтокъ. (№ 32, стр. 127—128). *Безъ подписи.*

Домъ въ пять этажей. Разсказъ управляющаго. (№ 36, 20 мая, стр. 142—144). *Безъ подписи.*

Глухія мѣста. I—II. (№№ 37, 24 мая и 51—52 (двойн.), 27 дек., стр. 145—148 и 201—203).

Былыя чудеса. (№ 38; 27 мая, стр. 149—151). *Безъ подписи.*

Гласный судъ. Сцены. I. На Невскомъ. II. Въ трактирѣ. III. У мирового судьи. (№ 41—42, двойн.; 10 іюня, стр. 161—164).

Шилохвостовъ. Очеркъ. I—VII. (№№ 63—64 и 65—66, двойные; 26 авг. и 2 сент., стр. 252—255 и 261—263).

Бѣлуга. Разсказъ изъ былого времени. (№ 93—94, двойн.; 9 дек., стр. 370—372). Подписано: *Орѣховецъ.*

Изъ новой судебной практики. Разсказъ судебнаго пристава. I—III. (№№ 69—70, 77—78 и 83—84, двойные; 16 сент., 14 окт. и 4 ноября, стр. 274—276, 308—311 и 332—333). *Безъ подписи.*

1875.

Полторы сутки на Варшавской жел дорогѣ. (Посмертный разсказъ, 1875 г. №№ 13 и 14. Стр. 7—11 и 9—12).

«НЕВСКІЙ СБОРНИКЪ».

1866.

Очерки обозной жизни. I. Приготовленія къ дорогѣ. II. Путешествіе. III. Крестная мать. IV. Мы пріѣхали на праздникъ. V. Расправа (т. I, стр. 432—472).

«РАЗВЛЕЧЕНІЕ».

1867.

***Квартира № 25.** Разсказъ чиновника (т. XVII. № 13, 1 апрѣля, стр. 201—204).

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ».

(А. А. Краевскаго).

1867.

Никола Знаменскій. Разсказъ доктора (т. CLXXV. № 21, ноябрь, кн. 1-я, отд. I, стр. 1—30).

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ».

(Н. А. Некрасова).

1868.

Гдѣ лучше? Романъ. Часть I. Въ провинціи, гл. I—XXV (т. CLXXVIII (III) и CLXXIX (IV). №№ 6, 7 и 8, іюнь, іюль, августъ, отд. I, стр. 467—532, 121—179 и 355—418).

Часть II. Въ Петербургѣ, гл. I—...., (т. CLXXX (V). №№ 9 и 10, сент. и октябрь, стр. 17—84 и 391—504).

1869.

***Будни и праздники Янкеля Дворкина и его семейства.** Очеркъ современнаго быта евреевъ. I—XI, (т. CLXXXIV (IX). № 6, іюнь, отд. I, стр. 289—330). Подписано ошибочно *С. Рѣшетниковъ.*

1870.

Свой хлѣбъ. Романъ. (Посвящается С. С. Рѣшетниковой). Часть I, гл. I—XV (т. CLXXXIX (XIV) и CLXC (XV). №№ 3, 4, 5, мартъ, апрѣль, май, отд. I, стр. 7—59, 295—360 и 11—86).

Часть II, гл. I—XIX. (т. CLXC (XV) и CLXCI (XVI). №№ 6, 7 и 8, іюнь, іюль, августъ, отд. I, стр. 271—320, 1—63 и 431—514).

«НЕДѢЛЯ».

1868.

Сутки въ еврейскомъ городѣ. Дорожныя впечатлѣнія. (№ 21, столб. 641—650).

Яшка. Очеркъ изъ петербургской жизни. I—X. (№№ 39, 40 и 41, столб. 1243—1256, 1289—1298 и 1339—1346).

1869.

***Отъ Брестъ-Литовска до Петербурга.** Дорожныя впечатлѣнія. (№ 14, столб. 431—436).

«СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ»

1868.

Тетушка Опариха. Разсказъ. (№ 3, мартъ, отд., стр. 359—392).

«БИБЛІОТЕКА ДЕШЕВАЯ».

(С. С. Окрейца).

1871.

Прогрессъ въ уѣздномъ городѣ. Комедія въ 4 дѣйствіяхъ. (№ 1, январь, стр. 3—86).

На Западѣ. Разсказъ доктора. (№ 2, февраль, отд. I, стр. 55—90).

«СІЯНІЕ».

1872.

Осиновцы. Этнографическій очеркъ. (т. II, № 30, стр. 53—58). (Посмертное произведеніе).

«ГРАМОТЕЙ»

1872.

Осиновцы. Этнографическіе очерки. (Посмертное произведеніе). I. Запрудная сторона. II. Встрѣчные и поперечные. III. Старозаводская слобода. IV. Темь. V. Старозаводчане. (№№ 1 и 3, январь и мартъ, стр. 1—17 и 1—30).

«РУССКОЕ БОГАТСТВО».

1887.

Въ смутѣ. Драма въ 5 дѣйствіяхъ. (№ 5—6, май—іюнь, двойн., отд. I, стр. 123—213). (Посмертное; полностію рукопись не напечатана).

ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:

Подлиповцы. Этнографическій очеркъ изъ жизни бурлаковъ, Ф. Рѣшетникова. Въ 2-хъ частяхъ (въ одномъ томѣ). Спб. 1867. Тип. А. М. Котомина. 16 д. л. Ц. 2 р.

Подлиповцы. Этнографическій очеркъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1880, изд. И. Л. Тузова. 8 д. л., стр. 168.

Гдѣ лучше? Романъ въ 2-хъ частяхъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1869.

Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова. Очерки, разсказы и сцены.—Повѣсти, 2 тома, Спб. 1869, 8 д. л тип. М. Хана. Стр. въ I-мъ т. 1 и 444, и во II-мъ—1 и 476.

Содержаніе. Т. I. Между людьми. — Ставленникъ. Т. II. *Добрые люди:* Никола Знаменскій. Разсказъ доктора.—Тетушка Опарина. Разсказъ.—Кумушка Мироніха [1]). Разсказъ изъ горноза водской жизни. *Изъ путевыхъ воспоминаній:* Очерки обозной жизни.—Глухія мѣста.—Изъ дорожныхъ замѣтокъ.—Сутки въ еврейскомъ городѣ.—Дорожныя впечатлѣнія.—Ярмарка въ еврейскомъ городѣ.—Сцены. *Забытые люди:* Макся. Очеркъ.—Ильичъ. Разсказъ чиновника.—Шилохвостовъ. Очеркъ.—Яшка. Очеркъ изъ петербургской жизни. *Сатирическіе и юмористическіе разсказы.* Очерки и сцены: Внучкинъ. Разсказъ.—Въ Петергофѣ. (Лѣтнія сцены). Холера. (Современныя сцены).—Бѣлуга. Разсказъ изъ былого времени.—Гласный судъ. Сцены.—Изъ новой судебной практики. Разсказъ судебнаго пристава.—Домъ въ пять этажей. Разсказъ управляющаго.—Былыя чудеса. Разсказъ.

Свой хлѣбъ. Романъ въ 2-хъ частяхъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1871.

Свой хлѣбъ. Романъ въ 2-хъ частяхъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1880. Изд. И. Л. Тузова. Б. 8 д. л. Стр. 472.

Глумовы. Романъ Ѳ. М. Рѣшетникова. Спб. 1873, изд. И. Л. Тузова.

Знакомые портреты. I. Былыя чудеса. II. Никола Знаменскій. III. Зуботычинъ. IV. Внучкинъ. Ѳ. Рѣшетникова. Изд. князя В. В. Оболенскаго. Спб. 1878, 8 д. л. Стр. 157. (напечатано 2000 экз.).

Глумовы. Романъ Ѳ. Рѣшетникова. Спб. 1880. Изд. И. Л. Тузова. 8 д. л. Стр. 264 (напеч. 1200 экз.).

Собраніе сочиненій Ѳ. М. Рѣшетникова. Изд. К. Т. Солдатенкова. 2 тома. Съ портретомъ автора. М. 1874. Тип. В. Грачева. 8 д. л. 1074 и 910 стр. (напеч. 2400 экз.).

Содержаніе. Т. I. Ѳ. М. Рѣшетниковъ. (Біографическій очеркъ Гл. И. Успенскаго). Подлиповцы.—Глумовы.—Гдѣ лучше?—Свой хлѣбъ.

Т. II. Ставленникъ.—Между людьми.—Прогрессъ въ уѣздномъ городѣ. *Очерки и разсказы:* Никола Знаменскій.—Макся.—Ильичъ.—Шилохвостовъ.—Тетушка Опариха.—Кумушка Мироніха [1]).—Внучкинъ.—Яшка.—Холера.—Повѣсть объ отставномъ коллежскомъ ассесорѣ Зуботычинѣ.—Въ Петергофѣ. — Бѣлуга. — Гласный судъ.—Изъ новой судебной практики.—Домъ въ пять этажей.—Былыя чудеса. *Изъ путевыхъ замѣтокъ:* Очерки обозной жизни.—Глухія мѣста.—Сутки въ еврейскомъ городѣ.—Ярмарка въ еврейскомъ городѣ.—*Приложенія:* Горнорабочіе. *Статьи изъ газетъ:* Съ Новымъ годомъ.—На палубѣ.

Сочиненія Ѳ. М. Рѣшетникова. Въ 2-хъ частяхъ. Съ портретомъ автора, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ и съ вступительной статьей М. Протопопова. Спб. 1890. Типографія газеты „Новости"; обложка въ тип. Ю. Н. Эрлихъ. Больш. 8 д. л. въ 2 столбца, стр. XLIV и 675 и 748. Изданіе Ф. Павленкова.

Содержаніе. Т. I. Ѳ. Рѣшетниковъ, какъ писатель и какъ человѣкъ. Вступительная статья М. А. Протопопова. I. Подлиповцы. II. Глумовы. III. Гдѣ лучше? IV. Ставленникъ.

Т. II. I. Свой хлѣбъ. II. Между людьми.—*Мелкіе разсказы.* 1. Никола Знаменскій. 2. Макся. 3. Шилохвостовъ. 4. Тетушка Опариха. 5. Кумушка Мироніха. 6. Яшка. 7. Очерки обозной жизни. — Горнорабочіе. (Начало неоконченнаго романа).

Статьи о Ѳ. М. Рѣшетниковѣ

и его сочиненіяхъ.

Біографіи и некрологи.

Некрологъ, Ѳ. М. Рѣшетниковъ. („Отечественныя Записки" 1871, т. CXCV (XX) № 4, апрѣль, отд. II, стр. 419—436). *Г. У. (Гл. Ив. Успенскій).*

Некрологи. („Иллюстриров. газета", 1871, томъ XXVII. № 12, стр. 191).

Некрологи. („Русскій Календарь" А. С. Суворина на 1872 г.).

Біографія Ѳедора Михайловича Рѣшетникова. („Грамотей" 1871. № 8, стр. 41—52).

Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ. Біографическій очеркъ. („Донъ", 1871. № 36). (Извлеч. изъ „Отечествен. Записокъ").

Ѳ. М. Рѣшетниковъ. Біографическій очеркъ. („Иллюстрир. Газета") 1872, т. XXX. № 40 стр. 225—226). (Съ портретомъ).

Краткія свѣдѣнія о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, умершихъ въ 1871 г. („Русскій Архивъ" 1873. № 8, августъ, статьи *Г. Н. Геннади.*

Ѳ. М. Рѣшетниковъ. Біографическій очеркъ. („Сіяніе". 1872. № I, стр. 305). Съ портретомъ.

Литературныя и журнальныя замѣтки.—Изъ біографіи Ѳ. М. Рѣшетникова. („Отечеств. Записки" 1874, т. CCXII (XXXVIII). № 3, мартъ,

[1]) Разсказъ «Кумушка Мироніха» былъ напечатанъ въ «Искрѣ» первоначально подъ заглавіемъ «Кумушка Мокроносиха», какъ онъ значится въ настоящемъ изданіи. См. т. II, стр. 441.

отд. II,). Статья *Н. К. Михайловскаго*. См. также. „Сочиненія Н. К. Михайловскаго". Спб. 1896, т. II, столб. 626 и слѣд.

Исторія новѣйшей русской литературы. 1848—1892 гг. А. М. Скабичевскаго. 3-е изданіе, гл. XIV. Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ и его дѣтство. Юность Рѣшетникова до пріѣзда въ Петербургъ. Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни. „Подлиповцы" и прочія сочиненія, стр. 229—236. (Съ портретомъ).

Воспоминанія А. Я. Головачевой, гл. XVIII. Первая встрѣча съ Рѣшетниковымъ.—„Подлиповцы".—Наружность Рѣшетникова.—Разсказъ Рѣшетникова о его юности.—Его откровенныя признанія.—Причины его озлобленія.—Обѣдъ вдвоемъ съ Рѣшетниковымъ.—Водка и ея послѣдствія.—Поѣздка Рѣшетникова ко мнѣ въ Парголово. — Одно субботнее приключеніе.—Добросердечіе Рѣшетникова.—Послѣднее мое свиданіе съ нимъ. („Историческій Вѣстникъ" 1889, т. XXXVIII. № 11, ноябрь, отд. I, стр. 263—272).

Рѣшетниковъ, Ѳедоръ Михайловичъ („Энциклопедическій Словарь" Брокгауза и Ефрона, томъ XXVII, стр. 498—500). Статья *С. А. Венгерова*.

Къ біографіи Ѳ. М. Рѣшетникова. Г. С. Десятова. („Волжскій Вѣстникъ" 1897. № 246 и 247, 7 и 8 октября. Фельетонъ, стр. 2—3 и 2—3). (Новыя цѣнныя свѣдѣнія), См. и отд. оттискъ. Казань. 1897.

Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ. Галлерея русскихъ писателей. Текстъ редактировалъ И. Игнатовъ. М. 1901, стр. 299. Портретъ съ автографомъ, стр. 297.

По поводу 30-лѣтней годовщины смерти Ѳ. М. Рѣшетникова А. Скабичевскаго. „Русская Мысль". 1903 г. Іюнь, стр. 96.

Критическія статьи и рецензіи.

Критическія статьи и рецензіи.

Повѣсти изъ семинарскаго быта. (Повѣсти гг. Осокина, Рѣшетникова и Ѳедоровича). („Отеч. Записки" 1865, т. CLIX. № 7, апрѣль, кн. I, стр. 484—500). Статья *И. А. Самоцвѣтова*.

Подлиповцы. Этногр. очеркъ Ѳ. Рѣшетникова. („Отечеств. Записки" 1868, т. CLXXVI (I). № 1, январь, отд. II. Новыя книги, стр. 81—85.

Разбитыя иллюзіи. („Горнорабочіе". — „Глумовы".—„Гдѣ лучше?" Романы Рѣшетникова). Статья I и II. („Дѣло", 1868, кн. XI и XII, отд. II. Совр. Обозр., стр. 1—25 и 30—59). Статья *П. Н. Ткачева*.

Живая струя. (Вопросъ о народности въ литературѣ). („Отечеств. Записки" 1869, т. CLXXVII (II). № 4, апрѣль, стр. 143—184). Статья *А. М. Скабичевскаго*. (См. также сочиненія А. Скабичевскаго, т. I, стр. 133—138, 255—278, и т. II, стр. 99, 101, 102, 111, 227, 285, 289, 310, 322—325).

Чего нужно добиваться реальному поэту?

(„Отечествен. Записки" 1869, т. CLXXXVII. № 12, декабрь, отд. II, стр. 231—255). Статья *А. М. Скабичевскаго*.

(„Всемірный Трудъ" 1869 годъ. № 4, апрѣль, стр. 144—166).

Статья г. Скабичевскаго о соч. Рѣшетникова: „Чего нужно добиваться реальному поэту"? въ „Отеч. Запискахъ". Задача новѣйшей литературы, Е. И. Утина (о сочиненіяхъ Рѣшетникова), въ „Вѣстн. Европы". („Библіографъ", 1869, томъ I. № 3, декабрь. Журналистика стр. 66—68 и 81—83). Статья безъ подписи (*Н. А. Александрова*).

Задача новѣйшей литературы.

(„Вѣстникъ Европы". 1869, т. VI. № 12, дек., отд. II, стр. 832—888). Статья *Е. И. Утина*.

(„Заря". 1869. № 9, сентябрь, отд. II, стр. 191—206).

(„С.-Петербургскія Вѣдомости" 1869. № 167).

Журналистика. (Г. Скабичевскій, о значеніи г. Рѣшетникова). („С.-Петербург. Вѣдомости", 1869, № 353).

Будни и праздникъ Янкеля Дворкина, Повѣсть Ѳ. Рѣшетникова. („День, органъ русскихъ евреевъ". 1869. № 10). Статья *Варшавера*.

(„С.-Петерб Вѣдомости", 1870. № 209.

Народный реализмъ въ литературѣ. Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова, 2 части. Спб. 1867. „Подлиповцы". Этнографическій очеркъ. Спб. 2 части. 1870. „Гдѣ лучше?" Романъ въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1870. „Свой хлѣбъ". Романъ въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1870. („Дѣло", 1871. № 5, май, стр. 1—45). Статья *Н. В. Шелгунова*.

Мертвое царство. („Одесскій Вѣстникъ" 1871. №№ 57 и 59). Статья *С. С. (С. И. Сычевскаго)*.

(„Заря". 1871. № 3, мартъ, отд. II. Журналистика.

Глашатаи женскаго вопроса. („Одесскій Вѣстникъ", 1871, №№ 39 и 45). Статья *М. Гонлева*.

Лѣтописецъ темнаго люда. („Русскіе Общественные вопросы". Сборникъ „Недѣля". 1872, стр. 75—152). Статья *М. К. Цебриковой*.

Очерки текущей литературы. (Гоголь на одной доскѣ съ г. Рѣшетниковымъ и проч.). („Русскій Міръ" (В. В. Комарова) 1873. № 25). Статья *А. О. (В. Г. Авсѣенко)*.

Мнѣнія и статьи нашей свѣтской литературы о русскомъ духовенствѣ. („Христіанское Чтеніе". 1874, часть I. № 3, стр. 477—500). Статья Н. В.

Реальная беллетристика. Сочиненія Ѳ. М. Рѣшетникова, изд. К. Т. Солдатенкова, 2 тома. М. 1874. („Русскій Вѣстникъ". 1875, т. CXVI. № 4, апрѣль, отд. II, стр. 671—704). Статья *А. (В. Г. Авсѣенко)*.

(„Биржевыя Вѣдомости", 1875. № 132. (По поводу статьи г. А. въ „Русскомъ Вѣстн." 1875. № 4).

(„Библіотека дешевая и общедоступная". 1875. № 5).

Подлиповцы, Ѳ. М. Рѣшетникова. Спб. 1880, изд. И. Л. Тузова. („Иллюстрир. Міръ" 1879. № 23).

Рѣшетниковъ. I. Глумовы. II. Подлиповцы. („Россійская библіографія". 1880, № 55 (3), стр. 108). Небольш. библ. замѣтка.

Рѣшетниковъ, Ѳ. М. Свой хлѣбъ. Романъ. Спб. 1880, изд. книгопродавца И. Л. Тузова. („Россійская библіографія". 1880, № 58 (6), стр. 171). Небольш. библіогр. замѣтка.

(„Критическое обозрѣніе". 1880, № 10, стр. 465—468). Рецензія *П. Д. Боборыкина*.

(„Отечественныя Записки". 1880, № 3, мартъ стр. 94—102).

Подлиповцы. Изд. И. Л. Тузова. Спб. 1880. („Голосъ". 1880, № 28).

Два слова о драмѣ Рѣшетникова („Въ Омутѣ"). („Русское Богатство", 1887, № 5—6, май—іюнь. двойн., стр. 252—253). Замѣтка *Л. Е. Оболенскаго*.

Простонародные типы Рѣшетникова и друг. (Публичныя лекціи Ореста Миллера, изд. 2-е Спб. 1878, стр. 283—287).

Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Томъ I, стр. 133—138, 255—278 и т. II, стр. 99, 101—111, 227, 285—289, 310, 322—325).

Русскій романъ и русское общество. К. Ѳ. Головина. Спб. 1897.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОЧИНЕНІЙ РѢШЕТНИКОВА,

напечатанныхъ въ двухъ томахъ изданія.

Будни и праздники Янкеля Дворкина, т. II, стр. 759.
Былыя чудеса, т. II, стр. 552.
Бѣлуга, т. II, стр. 578.
Внучкинъ, т. II, стр. 471.
Въ деревню, т. II, стр. 515.
Въ омутѣ, т. II, стр. 948.
Въ Петергофѣ, т. II, стр. 502.
Гласный судъ, т. II, стр. 555.
Гдѣ лучше, т. I, стр. 635.
Глумовы, т. I, стр. 211.
Глухія мѣста, т. II, стр. 530.
Горнорабочіе (романъ), т. I, стр. 389.
Горнозаводскіе люди (разсказъ полѣсовщика), т. II, стр. 247.
Домъ въ пять этажей, т. II, стр. 546.
Дѣдушка Онисимъ, т. II, стр. 661.
Изъ новой судебной практики, т. II, стр. 585.
Ильичъ, т. II, стр. 466.
Квартира № 25, т. II, стр. 668.
Кумушка Мокроносиха, т. II, стр. 441.
Лотерея, т. II, стр. 334.
Макся, т. II, стр. 408.
Между людьми, т. I, стр. 457.
На большой дорогѣ, т. II, стр. 508.
На Западѣ, т. II, стр. 894.
На заработки, т. II, стр. 488.
На общественномъ гуляньѣ въ Лѣтнемъ саду, т. II стр. 846.
На палубѣ, т. II, стр. 313.
Никола Знаменскій, т. II, стр. 636.
Осиновцы, т. II, стр. 866.
Отъ Брестъ-Литовска до Петербурга, т. II, стр. 718.
Очерки обозной жизни, т. II, стр. 603.
Подлиповцы, т. I, стр. 1.
Повѣсть о Зуботычинѣ, т. I, стр. 831.
Полторы сутокъ на Варшавской желѣзной дорогѣ, т. II, стр. 723.
Прогрессъ въ уѣздномъ городѣ, т. II, стр. 921.
Прокопьевна, т. II, стр. 524.
Свой хлѣбъ, т. II, стр. 1.
Складчина, т. II, стр. 322.
Ставленникъ, т. I, стр. 95.
Старые и новые знакомые, т. II, стр. 457.
Сутки въ еврейскомъ городѣ, т. II, стр. 735.
Сутки въ казенной квартирѣ, т. II, стр. 674.
Съ Новымъ годомъ, т. II, ст. 395.
Тетушка Опариха, т. II, стр. 794.
Холера, т. II, стр. 494.
Чужой хлѣбъ, т. II, стр. 852.
Шилохвостовъ, т. II, стр. 563.
Ярмарка въ еврейскомъ городѣ, т. II, стр. 747.
Яшка, т. II, стр. 684.

Оглавленіе второго тома.

Свой хлѣбъ (Романъ) 1

Мелкіе разсказы:

На палубѣ 313
Складчина 322
Лотерея 334
Горнозаводскіе люди. (Разсказы полѣсовщика) 347
Съ Новымъ годомъ 395
Макся. 408
Кумушка Мокроносиха. (Разсказъ изъ горнозаводской жизни). . 441
Старые и новые знакомые. (Дорожныя записки) 457
Ильичъ 466
Внучкинъ 471
На заработки. (Сцены). . . . 488
Холера. (Современныя сцены) . 494
Въ Петергофѣ. 502
На большой дорогѣ. (Сцены) . 508
Въ деревню! (Сцены) 515
Прокопьевна. (Разсказъ) . . . 524
Глухія мѣста. (Изъ дорожныхъ замѣтокъ) 530
Домъ въ пять этажей 546
Былыя чудеса 552
Гласный судъ 555
Шилохвостовъ. 563
Бѣлуга 578
Изъ новой судебной практики . 585
Очерки обозной жизни . . . 603
Никола Знаменскій 636
Дѣдушка Онисимъ. (Разсказъ) . 661
Квартира № 25. (Разсказъ чиновника) 668
Сутки въ казенной квартирѣ. . 674
Яшка 684
Отъ Брестъ-Литовска до Петербурга 718
Полторы сутокъ на Варшавской желѣзной дорогѣ 723
Сутки въ еврейскомъ городѣ. . 735
Ярмарка въ еврейскомъ городѣ. 747
Будни и праздники Янкеля Дворкина и его семейства. (Очеркъ изъ современнаго быта евреевъ). 759
Тетушка Опариха. 794
Повѣсть объ отставномъ коллежскомъ ассесорѣ Зуботычинѣ . 831
На общественномъ гуляньѣ въ Лѣтнемъ саду. (28 іюня 1870 года) 846
Изъ неизданнаго романа «Чужой Хлѣбъ» 852
Осиновцы (Этнографич. очеркъ) 866
На Западѣ (Разсказъ доктора). 894

Драматическія сочиненія:

Прогрессъ въ уѣздномъ городѣ. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ . 921
Въ омутѣ. Драма въ 5-ти дѣйств. 978

Библіографія сочиненій Ѳ. М. Рѣшетникова, составленная П. В. Быковымъ 1

Алфавитный указатель сочиненій Рѣшетникова 1

PG 3360 .R4 1904 C.1
Polnoe sobranie sochinenii F.
Stanford University Libraries
3 6105 038 471 806

PG
3360
.R4
1904

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305